

**КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**Кафедра международной журналистики**

**РЭШ:**  
**РУССКАЯ**  
**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ**  
**ПОЭЗИЯ И ПРОЗА**

**Бишкек 2015**

УДК  
Р

Авторы-составители: докт. филол. наук, профессор А. С. Кацев,  
канд. филол. наук, доцент Н. Л. Слбодянюк

Рецензенты: канд. филол. наук Б. Т. Койчуев,  
канд. филол. наук А. Т. Омурканова

Рекомендовано к изданию  
Кафедрой международной журналистики КРСУ,  
Ученым советом ФМО КРСУ

Р РЭПП: Русская экспериментальная поэзия и проза. Хрестоматия. /Сост. А. С. Кацев, Н. Л. Слободянюк; авт. пред. А. С. Кацев; авт. прим. Н. Л. Слободянюк – Бишкек: КРСУ, 2015

Предложенная вниманию читателя хрестоматия представляет собой уникальную подборку произведений русской литературы от времени ее зарождения до наших дней. Каждый текст знаменует собой новую веху в становлении русской литературы, а собранные вместе они создают панорамную картину бытования русской словесности.

Хрестоматия адресована, прежде всего, людям любящим и умеющим читать, а также преподавателям и студентам – филологам, журналистам, культурологам и др.

©Составители А. С. Кацев,  
Н. Л. Слободянюк, 2015

### **Предисловие**

Творчество – всегда эксперимент. Создается одно, получается другое, потомки видят в этом третье.

Словесное творчество, появляющееся на этапе возникновения человеческой речи, второе после музыки, в соей абстракции искусство, постоянно воздействует и на сочинителя-исполнителя, и на слушателя. Слово, с момента появления, обладает магией и мистикой. Словесное творчество в определенных рамках, позже названных жанрами, существует пока не исчерпываются все смыслы, заложенные в него автором. (Подчас и автор не знает, не понимает глубины высказанного Слова, отсюда различные интерпретации одного сюжета в разных видах искусства).

Внутри словесного творчества имеются, помимо того, что оно само эксперимент, авторы – экспериментаторы, которые и придают новое значение, новое звучание, новое понимание привычному. Это происходит в словесном творчестве с момента его появления.

Следует только подчеркнуть, что слово-образ имеет всегда национальную подоплеку, и его нельзя механически пересадить из одной национальной среды в другую, если пользоваться садоводческой терминологией, его можно привить.

Русская литература имеет свою специфику и свои особенности. До 17 века она развивается практически в замкнутом национальном пространстве. Об этом со всей очевидностью свидетельствует жанровый массив, не

имеющий аналогов за рубежами отечества и трансформируемый в иные жанры, появившиеся в более позднее время.

При общей специфике, тем не менее имеются исключения.

В русской литературе овладение жанрами начинается с переводов иностранной литературы. Перевод – наиважнейшее средство овладения жанрами: от форм, видов журналистики к жанрам литературы. Первые переводы церковно-славянской литературы (апокрифы). Запретный плод сладок. Культурное (эстетика умноженная на этику) восприятие иностранной литературы (Байрон, подражание Байрону) и т.д. Стилизация под документальные формы. Альбомная литература. Эзопов язык. Притча. Иерархия и переход к изображению души.

Иностранное воздействие на русскую литературу (культуру) условно метафорически проходит от Фонвизина до смартфона.

На протяжении нескольких столетий внутри национальной систематики, появляются писатели, которые, игнорируя правила, создают уникальные (!) произведения, не имеющие аналогов. К этому, кстати, и стремится творчество.

Авторы данной хрестоматии-учебника постарались представить такую новаторскую русскую литературу в именах и произведениях, от которой современники отшатывались и были поражены, а потомки с благодарностью отмечали полет таланта, мысли и древнего устремления силой слова подчинить Вселенную.

Кацев А. С.

## Апокрифы

### Книга Иосифа Плотника

#### **О произведении:**

*Этот апокриф продолжает христианские писания, связанные с именами второстепенных евангельских персонажей. Об Иосифе, обручнике Матери Иисуса, из канонических евангелий известно очень мало. В Евангелии от Матфея сказано, что, узнав о добрачной беременности Марии, он, будучи праведен и "не желая огласить ее", хотел Марию отпустить, но ангел возвестил ему, что "родившееся в ней есть от Духа Святого" (1:19-20). После рождения Иисуса Иосиф с Марией и Младенцем бегут в Египет, а по возвращении оттуда поселяются в Назарете. В Евангелии от Луки никакого путешествия в Египет нет, семья живет все время в Назарете. Однако там говорится, что родители Иисуса каждый год ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, пришли они и в тот год, когда Иисусу исполнилось двенадцать (2:41-42). Представление о том, что Иосиф был плотником, восходит к Евангелию от Матфея. Согласно этому автору жители Назарета говорят об Иисусе: "Не плотников ли Он сын?" (13:55). У Марка и сам Иисус назван плотником, но сыном Марии, а не Иосифа (6:3).*

*Все подробности обручения Марии Иосифу восходят к апокрифическим писаниям, и прежде всего к "Протоевангелию Иакова". Поскольку об Иосифе упоминалось в Новом завете только в связи с детством Иисуса, в апокрифической литературе, а затем и в сочинениях церковных писателей разрабатывалась версия, согласно которой в момент обручения с Марией Иосиф был глубоким стариком и умер до начала проповеднической*

деятельности Иисуса. Старость Иосифа позволила уже в "Протоевангелии Иакова" сделать его вдовцом, а упомянутых в Новом завете братьев и сестер Иисуса - его детьми от первого брака. Эта версия была впервые высказана, по-видимому, в апокрифическом "Евангелии Петра". Наиболее же полно она изложена в "Книге Иосифа Плотника", где названы имена всех его детей, точно указывается, сколько лет он прожил с первой женой. Ортодоксальная Церковь не признает этой версии и считает всех упомянутых братьев и сестер Иисуса - двоюродными. При этом берутся в расчет хронологические соображения: Иаков, брат Иисуса и один из руководителей Иерусалимской общины, был умерщвлен в 61 г. н.э. (о нем и его казни говорит писатель I в. н.э. Иосиф Флавий в XX книге "Иудейские древности" и Евсевий Кесарийский в "Церковной истории"), причем нигде не сказано, что он был глубоким стариком.

Книга Иосифа Плотника была создана около 400 г. в Египте. Дошли ее рукописные варианты на диалектах коптского языка, а также арабский текст; однако считается, что в их основе лежит греческий текст. В отличие от евангелий детства и "Протоевангелия Иакова" (которое автор "Книги Иосифа", по-видимому, знал) в "Книге Иосифа" нет бытовых деталей. Это объясняется не только тем, что устные рассказы и ранние апокрифы не содержали подробностей о жизни Иосифа, но и особой теологической направленностью, свойственной этому произведению: главное место в нем занимает не жизнь Иосифа, а его предсмертные мольбы и смерть. Автор смело вкладывает рассказ об Иосифе в уста самого Христа, придавая ему тем самым высшую достоверность. Согласно этому апокрифу душа Иосифа, прежде чем попасть в рай, должна пройти через опасности, избежать демонов и не быть съеденной львом. В описании этих мытарств чувствуется сильное влияние культа древнеегипетского божества Осириса, выступавшего судьей в Царстве мертвых. Чтобы попасть в это царство, душа умершего должна была с помощью особых заклинаний избежать демонов (заклинания клали в могилу, дабы душа не забыла их).

Если на суде Осириса умерший признавался недостойным войти в царство мертвых, то его съедал лев с головой крокодила. Сложное восхождение души к Высшему присутствовало и в учениях египетских гностиков, и в философских учениях неоплатоников.

Несколько неожиданно в устах праведного человека, ставшего обручником Божией Матери, звучат предсмертные слова Иосифа в гл. XVI: "Несчастный день, когда я был рожден на этот свет", которые отнюдь не соответствуют роли Иосифа в священной истории. Однако они отражают представление группы египетских христиан о мире как воплощении зла, созданном не Единым Божеством, а низшими силами {О специфике верований египетских христиан см.: Хосроев А. Л. Александрийское христианство. М, 1991; Он же. Из истории раннего христианства в Египте. М., 1997.}.

В апокрифе прослеживается еще одна важная тема - тема святого покровителя, которым становится Иосиф. Культ святых - относительно позднее явление в христианстве, он возникает под влиянием языческих верований и почитания мучеников за веру. В ситуации, когда многие христиане не выдержали гонений со стороны римских властей, отрекались или прятались, когда в обыденной жизни они не могли выполнять максималистскую мораль первых христиан (например, состоя на военной или на государственной службе), возникает вера в заступников, которые способны вымолить у Бога прощение за грехи. Возникает стремление получить охраняющего тебя индивидуального заступника. Именно эта идея индивидуального заступничества святого, имя которого носит христианин, разрабатывается в "Книге Иосифа Плотника". Подробно перечисляются блага, которые заступник Иосиф предоставит тому, кого он

*оберегает. В III в., судя по христианским надгробиям, специфически христианских имен было немного, с ними соседствовали греческие и римские имена. В IV в. число людей, носивших специфически христианские имена, увеличивается, и к концу IV в. связь между именем человека и его святым-заступником становится вполне ощутимой. Подробное описание в "Книге Иосифа Плотника" тех благ, которые принесет наименование ребенка в честь обручника Девы Марии, показывает, что подобный обычай еще не стал общепринятым.*

*"Книга Иосифа Плотника" настолько далека от канонических писаний и настолько поздно создана, что вопрос о ее признании Церковью никогда не стоял.<sup>1</sup>*

Во имя Бога, единого в Своей сущности и троичного в лицах<sup>2</sup>. История успения отца нашего, святого старца Иосифа Плотника. Да будут над нами всеми его благословение и молитвы, о братья! Аминь.

Жизни его было сто одиннадцать лет<sup>3</sup>, и отшествие его из мира сего произошло в двадцать шестой день месяца Абиб, что соответствует месяцу Лб<sup>4</sup>. Да будет над нами молитва его! Аминь.

Господь наш Иисус Христос Сам соблаговолил поведать сие святым Своим ученикам на горе Масличной, говоря о трудах Иосифа и об окончании дней его. Святые апостолы удержали сие и сохранили написанным в книгохранилище иерусалимском. Да будут над нами их молитвы! Аминь.

I. В дни оные случилось, что Спаситель наш, Господь и Учитель Иисус Христос, пребывал с учениками своими на горе Масличной, и как все были вместе, Он сказал им: "О братья и друзья Мои, дети отца, который избрал вас между человеками. Вы знаете, что Я часто возвещал вам, что Мне надлежит быть распяту и умереть для спасения Адама и потомков его и воскреснуть из мертвых. Я доверяю вам учение святого евангелия, которое уже возвещено вам, дабы вы проповедовали его во всем мире, и Я осеню вас силою свыше и исполню вас Духа Святого. Вы возвестите всем народам покаяние и отпущение грехов. Ибо одна чаша воды, если человек обретет ее в будущем веке, драгоценнее всех сокровищ мира сего, и пядь, которую займет нога в доме Отца Моего, превосходнее и ценнее всех богатств земных.

Один час в блаженном жилище праведных даст более радости и превосходнее, чем тысяча лет среди грешников. Ибо стоны и жалобы их не прекратятся, и слезам их не будет конца, и ни на минуту они не найдут ни утешения, ни покоя. И ныне вы, достойные члены Мои, идите, проповедуйте всем народам, несите им закон новый и поведайте им: Господь осведомляется усердно о наследии Своем<sup>5</sup>, Он - исполнитель правосудия. И ангелы покарают врагов Его и сразятся в день битвы. И Бог рассудит каждое слово праздное и безрассудное, какое скажут люди, и они дадут ответ за

---

1 Свенцицкая И., Скогорев А. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых - [http://textfighter.org/teology/apokrif/apokrifov\\_kniga\\_iosifa\\_plotnika.php](http://textfighter.org/teology/apokrif/apokrifov_kniga_iosifa_plotnika.php)

2 Начало апокрифа указывает, что он создан не раньше конца I в., после того как в 325 г. на Никейском соборе был принят догмат о Троице (трех ипостасях единого Бога " Боге-Отце, Боге-Сыне и Боге" Духе Святом).

3 В данном случае апокриф следует библейской традиции, наделявшей праведных патриархов долголетием.

4 Египетский месяц Лб (Абиб) соответствовал второй половине июля " первой половине августа.

5 В коптском тексте: "На верных чашах и правильным весом измерит Отец Мой долг ваш. И еще о каждом слове праздном, которое скажете вы, будете судимы. Ибо нет возможности избежать смерти, так же, как никто не избавит своих добрых или злых дел" (т. е. наказания или вознаграждения за эти дела).

него, ибо никто не избежит закона смерти, и дела каждого станут явны во время Суда, были ли они добрые или злые.

Возвестите это слово, которое Я сказал вам сегодня. Да не хвалится сильный силою своей, ни богатый сокровищами своими; но кто хочет быть прославлен, пусть славится в Господе.

II. Жил человек именем Иосиф, родом из Вифлеема, города Иудина, города царя Давида. Он был мудр, сведущ в законе и был сделан священником в храме Господнем. Он занимался также ремеслом плотника и по обычаю всех людей взял себе жену. И он имел от нее сыновей и дочерей, а именно: четырех сыновей и двух дочерей. И имена сыновей его: Иуда, Юст, Иаков и Симон. Имена двух дочерей: Ассия и Лидия<sup>6</sup>. И жена Иосифа Праведного, всегда ставившая славу Божию целью всех дел своих, умерла во время свое.

И Иосиф, праведник сей, отец Мой по плоти, обручник Марии, Матери Моей, трудился с сыновьями своими, занимаясь своим ремеслом плотника.

III. Когда же Иосиф Праведный овдовел, Марии, моей благословенной святой и пречистой Матери, исполнился двенадцатый год. И привели родители Ее во храм, когда Ей было только три года, и Она провела девять лет в храме.

Тогда священники увидели, что эта святая и богобоязненная Дева вступает в возраст юношеский, и толковали между собою, говоря:

"Поищем праведного и благочестивого человека, которому поручим Марию до брака из боязни, что, если Она останется при храме, с ней может случиться обычное женщинам и чтобы не согрешили мы с Ней и Бог не прогневался на нас".

IV. И тотчас же, отправив посланных, они созвали двенадцать старцев из колена Иудина. И они написали имена двенадцати колен Израилевых. И пал жребий на благочестивого старца Иосифа Праведного<sup>7</sup>. И сказали священники благословенной Матери Моей: "Иди с Иосифом и живи у него до брака.

И Иосиф Праведный принял Мою Мать и отвел Ее в дом свой. И Мария нашла Иакова младшего, и он был уныл и печален в доме отца своего по причине потери матери своей, и Она заботилась о нем, и потому называли Марию матерью Иакова. После того Иосиф, оставив Ее в доме своем, отправился в мастерскую, где он работал плотником.

И когда святая Дева пробыла в его доме два года, Ей пошел четырнадцатый год.

V. И вот я чрезвычайно возлюбил Ее с благоволения Отца Моего и причастием Духа Святого<sup>8</sup>.

Я воплотился в Ней через тайну, которая превосходит понимание всякой твари. Прошло три месяца со времени зачатия, когда Иосиф Праведный возвратился оттуда, где работал. И, узнав, что Дева, Мать Моя, имеет в чреве, он смутился духом и помышлял тайно отпустить Ее. Объятый страхом, ужасом, тоской и тревогой, он не мог ни пить, ни есть в тот день.

---

6 Имена братьев Иисуса названы в Новом завете: Иаков, Иосия, Иуда и Симон (Мк 6:3; Мф 13:55); сестры упомянуты, но без имен.

7 Обручение Марии в "Книге Иосифа Плотника" описано иначе, чем в Протоевангелии Иакова: там из его посоха вылетает голубка, и этот знак Божий определяет выбор суженого Марии.

8 В основе этой фразы лежит идея предвечного существования Христа, который Сам вошел в Марию и через Нее обрел человеческую плоть. В коптском тексте сказано: "Я пришел по благоволению Моему, и волею Отца Моего, и силою Духа Святого". В арабском тексте действует воля одного Христа: "... Я воплотился по воле Моей, и Я вошел в Нее...".

VI. Посреди дня<sup>9</sup> князь ангелов Гавриил явился ему во сне, исполняя повеление, которое получил от Отца Моего, и так сказал ему: Иосиф, святой сын Давидов, не бойся принять Марию как нареченную, ибо Она зачала от Духа Святого и родит сына, которого назовут Иисусом. Он будет править всеми народами жезлом железным. Ангел, сказав это, удалился. И Иосиф, пробудившись, повиновался тому, что повелел ему ангел  
Господень,  
И Мария осталась с ним.

VII. И вот пришло время, появился указ императора и кесаря Августа, чтобы каждый из живущих на свете был записан в городе своем. И праведный старец Иосиф собрался, взял с собой Деву Марию, и они пошли в Вифлеем, ибо время родов приближалось. Записал свое имя Иосиф в списке, ибо Иосиф, сын Давидов, которому Мария была обручена, был из колена Иудина. И Мать Моя Мария родила Меня в пещере<sup>10</sup>, близ гробницы Рахили, жены патриарха Иакова и матери Иосифа и Вениамина.

VIII. Но Сатана пошел и возвестил обо всем этом Ироду, деду Архелая<sup>11</sup> Сей Ирод был тот, кто приказал обезглавить Иоанна, Моего друга и родственника. Он повелел тщательно искать Меня, полагая, что царство мое от мира сего. Но благочестивый старец Иосиф был предупрежден о том во сне, и, встав, он взял Марию, Мать Мою, и Она унесла Меня на руках. И Саломея присоединилась к ним, чтобы сопровождать их в пути. И так, уйдя из дома своего, он удалился в Египет и пробыл там целый год, пока ярость Ирода не улеглась.

IX. Ирод умер страшной смертью, неся на себе кровь неповинную, которую пролил он, когда несправедливо приказал умертвить безгрешных младенцев. И когда кончил дни свои мучитель Ирод, возвратились родители Мои в землю Израилеву и поселились в городе Галилейском, называемом Назарет. Иосиф, снова взявшись за ремесло плотника, кормился от труда рук своих, как предписывал им Закон Моисеев, ибо он никогда не получал пропитания от чужих трудов.

X. И по прошествии многих лет достиг старец возраста весьма преклонного. Он не испытывал никакой телесной немощи, он не утратил зрения, и ни один зуб не выпал из рта его, он сохранил здоровыми все члены свои, и разум его ни на минуту не затемнялся, но подобно юноше во все дела свои он вносил молодую бодрость. И старость его была весьма глубокой, ибо он достиг возраста ста одиннадцати лет.

XI. Юст и Симон, старшие сыновья Иосифа, взяв жен, ушли в дома свои, и две дочери его вышли замуж и также удалились в дома свои. И оставались в доме Иосифа Иуда и Иаков, младший, и Дева, Мать Моя. И Я жил с ними, словно был одним из сыновей их. Я провел всю Мою жизнь, не совершив ни одного проступка. Я называл Марию Матерью Моей и Иосифа отцом Моим, и я подчинялся всему, что они мне приказывали. И я никогда не ослушивался их, но всегда сообразовался с их волей, как поступают другие люди, рождающиеся на земле. Ни разу Я не разгневал их, не сказал им резкого слова, не ответил с раздражением. Напротив, Я выказывал им великое почтение, любя их, как свет очей Своих.

---

9 Посреди дня - возможно, ошибка переписчика. В коптском варианте Гавриил является Иосифу ночью.

10

Здесь использован вариант "Протоевангелия Иакова" о рождении Иисуса в пещере; ясли, как слишком реалистическая деталь, не упоминаются вообще.

11 А[р]хелай был не внуком, а сыном царя Ирода, после смерти последнего ему ненадолго досталась в управление значительная часть Иудеи. В истории Иисуса гораздо большую роль сыграл другой сын царя Ирода " Ирод Антипа, назначенный римлянами правителем (тетрархом) Галилеи.

ХII. Потом пришло время кончины благочестивого старца Иосифа, и наступила минута, когда ему надлежало покинуть этот мир, как и другим людям, обреченным возвратиться в землю.

И когда тело его приблизилось к разрушению, ангел Господень возвестил ему, что час кончины его близок. Тогда страх объял его, и дух был охвачен великим смятением. И, встав, он пошел в Иерусалим и, войдя в храм Господень и изливая молитвы перед святилищем<sup>12</sup>, сказал:

ХIII. " О Боже, источник всякого утешения,  
Бог милосердия и владыка всего рода человеческого,  
Бог души, духа и тела моего!  
Я поклоняюсь тебе и молюсь,  
о мой Бог и Господь;  
если уже исполнились дни мои  
и пришло время, когда я должен уйти из этого мира,  
то пошли, я молю Тебя, великого Михаила, архонта ангелов<sup>13</sup>.  
И пусть он пребудет со мною,  
дабы жалкая душа моя вышла из этого бренного тела безболезненно,  
без страха и нетерпения,  
ведь великий ужас и жестокая тоска овладевают всякой плотью в день кончины  
- мужи это или жены, звери полевые или лесные,  
ползают ли они по земле или летают по воздуху.  
Все твари, сущие под небом и в которых есть дыхание жизни,  
бывают поражены ужасом, великим страхом и крайним отвращением,  
когда души покидают тела их.  
И ныне, о мой Бог и Господь,  
Твой святой ангел да удостоит своим присутствием душу мою и тело мое,  
пока не совершится разделение их.  
И да не отворотится от меня лик ангела,  
назначенного хранить меня со дня рождения моего<sup>14</sup>,  
но да будет спутником моим,  
доколе не приведет меня к Тебе.  
Да будет лик его радостен и благосклонен ко мне и да ведет меня в мире.  
Не допусти демонов, грозных духов, приблизиться ко мне на пути,  
которым я должен идти, доколе не приду благополучно к Тебе.  
И не допусти, чтобы стражи рая запретили мне войти в него.  
И, открывая грехи мои, не подвергни меня позору перед страшным судилищем Твоим.  
Да не бросятся на меня львы.  
И волны огненного моря, которые должна перейти всякая душа, да не потопят душу мою  
ранее чем узрю Божественную силу Твою.  
О Боже, судия праведный, тот, кто будет судить смертных судом правым Своим и воздаст  
каждому по делам его! Пребудь со мною в милосердии Твоем и освети путь мой, дабы я  
пришел к Тебе, ибо Ты изобильный источник всех благ и слава в вечности. Аминь!

ХIV. Потом же, когда Иосиф возвратился к себе в город Назарет, постигла его болезнь, и он лежал в постели. И настало время, когда ему надлежало умереть, ибо таков удел всех людей. Он сильно страдал от этой болезни, она была первой постигшей его со дня его

---

<sup>12</sup> Речь идет о Иерусалимском храме.

<sup>13</sup> Т. е. архангела Михаила.

<sup>14</sup> В этой молитвенной фразе отразились проникшие и в христианство древневосточные верования о существовании у каждого человека личного бога-хранителя; древние римляне также верили в личного духа-гения.

рождения. И так благоугодно было Христу, что он прожил сорок лет до заключения брака. Жена его прожила с ним сорок девять лет, и по истечении их она умерла. Через год после ее смерти священники поручили Иосифу Мою Мать, блаженную Марию, дабы он хранил Ее до брака. Пробыв два года в его доме, Она, будучи в возрасте пятнадцати лет, родила Меня на свет посредством тайны, которую ни одна тварь не может ни понять, ни постичь, но только Я, Мой Отец и Дух Святой, единосущные со Мной<sup>15</sup>,

XV. Итак, возраст отца Моего, сего праведного старца, достиг ста одиннадцати лет - по воле Отца Моего небесного. И день, в который душа его рассталась с телом, был двадцать шестой день месяца Абиб. Он начал терять золото яркого блеска, то есть свое понимание в науке<sup>16</sup>. Ему стали противны пища и питье, он утратил свои навыки в плотничьем искусстве. И в двадцать шестой день месяца Абиб душа старца Иосифа Праведного впала в тревогу, когда он лежал на своей постели. И он отверз уста свои, испуская вздохи, всплеснул руками и воскликнул громко и горестно:

XVI. "Несчастный день, когда я был рожден на этот свет!  
Несчастное чрево, носившее меня!  
Несчастные недра, принявшие меня!  
Несчастные сосцы, питавшие меня!  
Несчастные ноги, поддерживавшие меня!  
Несчастные руки, носившие меня и воспитывавшие меня, пока я не вырос, ибо я зачат в несчастии и во грехе родила меня мать моя.  
Горе языку и устам моим, ибо они говорили и произносили слова тщеславия, упрека, лжи, неведения, заблуждения, непостоянства и лукавства!  
Горе глазам моим, ибо они созерцали соблазн!  
Горе ушам моим, ибо они услаждались речами клеветников!  
Горе рукам моим, ибо они брали то, что не принадлежало им!  
Горе чреву моему и внутренностям моим, ибо они желали пищи, употребление которой запрещено им!  
Горе гортани моей, которая подобно огню пожирала все, что находила!  
Горе ногам моим, которые часто ходили неудобными Господу путями!  
Горе телу и душе моим, непокорным Господу, Творцу своему!  
Что делать мне, когда прибуду туда, где должен предстать перед Праведным Судьей, который укорит меня делами, совершёнными мною в юности!  
Горе всякому человеку, умирающему в грехах своих!  
Этот страшный час, настигший уже отца моего Иакова, когда душа его отлетела от тела, вот он, он близок.  
О как ныне я несчастен и достоин сострадания! Но один Бог - господин моей души и тела, и пусть Он поступит с ними по воле Своей.

XVII. Это были слова, произнесенные Иосифом, праведным старцем. И Я, войдя и приблизившись к нему, нашел его душу весьма смущенной, ибо он был в большой тревоге. И я сказал ему:  
" Приветствую тебя, Иосиф, отец мой, человек праведный. Как твое здоровье? И он ответил Мне:  
" Приветствую Тебя много раз, о мой дорогой сын! Страдание и страх смерти уже подступили ко мне, но лишь внял я голосу Твоему, душа моя познала покой.

<sup>15</sup> Здесь приведена формула, принятая ортодоксальным христианством, о единосущности трех лиц Троицы и триединстве Бога.

<sup>16</sup> Фраза неясна. В арабском тексте: "И вот золото очищенное, плоть отца Моего Иосифа, стало тускнеть, и серебро " разум и служение его " изменилось. Разучился он пить и есть...". В этом варианте не вполне понятно, почему плоть " золото, а разум " серебро. По-видимому, в рукопись вкрались какие-то искажения.

О Иисус из Назарета, Иисус, утешение мое, Иисус, освободитель души моей, Иисус, заступник мой! Иисус, имя сладчайшее в устах моих и для всех любящих Его. Око Видящее и Ухо Слышащее, внемли мне, я слуга Твой, я поклоняюсь Тебе во всем смирении и проливаю слезы мои перед Тобой. Ты Бог мой, Ты Господь мой, как ангел возвещал мне неоднократно и особенно в день, когда душа моя омрачалась дурными мыслями из-за чистой и благословенной Марии, которая зачала, и я мыслил отпустить Ее тайно. Когда я размышлял об этом, удивительной тайной явились мне ангелы Господни во сне, говоря: "О Иосиф, сын Давидов, не бойся принять невестой Марию и не сокрушайся о том, что Она имеет во чреве, и не предавай осуждению, ибо Она имеет во чреве Духа Святого и родит сына, которого нарекут Иисусом, и Он искупит от грехов народ Свой". Не взыщи на мне вины моей, Господи, ибо я не знал тайны рождения Твоего. Я помню, Господи, как однажды дитя погибло от укуса змеи. Родители его хотели предать Тебя Ироду, говоря, что Ты умертвил его. Но Ты воскресил его из мертвых и вернул им<sup>17</sup>. Тогда, приблизясь к Тебе и взяв Тебя за руку, я сказал: "Берегись, сын мой". Но Ты ответил: "Не отец ли ты Мне по плоти? Я открою тебе, кто Я". И ныне, о мой Господь и мой Бог, не гневайся на меня и не осуди меня за час тот. Я раб Твой и сын рабы твоей. Ты мой Господь, мой Бог и мой Спаситель и воистину Сын Божий".

XVIII. Говоря так, отец Мой Иосиф не мог больше плакать, и я видел, что смерть уже овладела им. И Мать Моя, пречистая Дева, сказала Мне: "О Мой дорогой Сын, этот благочестивый старец Иосиф умрет". И Я ответил ей: "О Моя многолюбящая Мать, эта необходимость умереть положена всем созданиям, какие рождаются на земле, ибо смерть получила твердую власть над всем родом людским. И Ты, Моя Мать, и все остальные существа человеческие" вы должны приготовиться к окончанию вашей жизни. Но Твоя кончина, как и кончина этого благочестивого старца, не смерть, но вступление в жизнь вечную, которая не знает конца. И тело, которое Я получил от тебя, также подвержено смерти. Но встань, Мать Моя, достойная всякого поклонения, и приблизься к Иосифу, благочестивому старцу, дабы видеть, что произойдет в минуту, когда душа его отделится от тела.

XIX. И Мария, Моя непорочная Мать подошла к ложу, где лежал Иосиф, и Я сидел у ног его, глядя на него. Печать смерти уже обозначилась на его лице. И блаженный старец, подняв голову, устремил на Меня глаза. Но у него не было силы говорить по причине смертного страдания, овладевшего им, и он испускал тяжкие вздохи. И Я держал [его] руки в продолжение целого часа. И он повернул лицо свое ко Мне, сделав Мне знак не покидать его.

Тогда, положив руку Мою на грудь ему, Я принял его душу уже близ горла, когда она выходила из убежища своего<sup>18</sup>.

XX. Когда Мать Моя, Приснодева, увидела, что Я касаюсь тела Иосифа, Она прикоснулась к ногам его. И, найдя их уже безжизненными и похолодевшими, Она сказала Мне: "О Мой дорогой Сын, ноги его уже остывают, они холодны, как снег". Потом, созвав его сыновей и дочерей, Она сказала: "Идите все, сколько вас есть, и приблизьтесь к вашему отцу, ибо воистину он достоин последнего часа своего". И Ассия, дочь Иосифа, ответила: "Горе мне, о братья мои, ибо это та же болезнь, от которой умерла наша дорогая мать". Она плакала и испускала горестные вопли, и все другие дети Иосифа также проливали слезы. И Я, и Мария, Мать Моя, Мы плакали с ними.

---

<sup>17</sup> Эпизод с исцелением от укуса змеи содержится в "Евангелии детства".

<sup>18</sup> Здесь также проявились очень древние представления о душе, которая выходит вместе с дыханием.

XXI. Обратившись на полдень, Я увидел смерть приближавшейся, а с ней все силы бездны, полчища и приспешников их. Их одеяния, уста и лики извергали огонь. Отец Мой Иосиф тоже увидел приближение их, и глаза его наполнились слезами, и стон, необычайно мучительный и тягостный, вырвался из груди его. Тогда, видя глубину его страданий, Я отстранил смерть и толпу приспешников, сопровождавших ее, и воззвал к милосердному  
Отцу  
Моему,  
говоря:

XXII. "О Отец милосердия, Око Видящее и Ухо Внимающее<sup>19</sup>, услышь Моления мои и молитвы за старца Иосифа и пошли Михаила, архонта ангелов, и Гавриила, вестника света, и все сияние Твоих ангелов, и да сопутствует весь чин их душе отца Моего Иосифа, пока не приведут его к Тебе. Настал час, когда отец Мой нуждается в милосердии. И я говорю вам, что все святые и все люди, какие родятся на этом свете, будь они праведны или нечестивы, должны непременно вкусить смерти.

XXIII. Итак, Михаил и Гавриил сошли к душе отца Моего Иосифа. И, взяв ее, они обернули ее блестящим саваном. Таким образом он предал дух свой в руки Отца Моего милосердного, и мир был дарован ему, и никто из детей его не знал, что он уснул. Но ангелы оберегли душу его от стоявших на пути мрачных демонов и славословили Бога, пока не привели его в место обитания праведных.

XXIV. Тело его лежало бледное и неподвижное. И, приблизив руки Мои к глазам его, Я закрыл их. Я закрыл его уста и сказал Деве Марии: "О Мать Моя дорогая, где же искусство, которому он посвящал себя все время, пока жил на этом свете? Оно ушло с ним, словно никогда и не существовало". Когда дети Иосифа услышали, что Я говорю с Моей Матерью, непорочной Девой, они поняли, что он скончался, и, проливая слезы, они горестно рыдали. Я же сказал им: "Смерть отца вашего не смерть, но жизнь вечная, ибо, избавленный от скорбей века сего, он обрел покой вечный, не имеющий конца". И, услышав слова сии, они, плача, разорвали одежды свои.

XXV. Некоторые жители города Назарета и люди со всей Галилеи, узнав о горе их, пришли к ним, и они плакали с трех до девяти часов. И в час девятый они пошли все в покой Иосифов и взяли тело его, помазав драгоценными ароматами.

Я обратился с молитвой к небесному Отцу Моему с молитвой, которую Я написал рукою Своей еще до того, как был во чреве Девы Марии, Моей Матери. И когда Я закончил и когда сказал "аминь", появилось великое множество ангелов, и Я повелел двоим из них развернуть блистающую ткань и облечь ею тело Иосифа, благословенного старца.

XXVI. И, приблизившись к Иосифу, Я сказал: "Запах смерти и тления не овладеет тобою, и ни один червь не выйдет из твоего тела. Ни один из твоих членов не будет поврежден, ни один волос не упадет с твоей головы, и не погибнет ни одна часть твоего тела, отец Мой Иосиф, но останется оно целым и нетленным до торжества тысячи лет. И всякого смертного, который позаботится сделать приношение в день твоего поминовения, Я благословлю и водворю его среди праведных. И кто накормит убогих, бедных, вдов и сирот, раздавая им плоды трудов рук своих в день, когда чтится твоя память и имя твое, - тот не будет лишен имущества во все дни жизни своей.

Кто подаст во имя твое вдове или сироте стакан воды, чтобы утолить жажду, тот волей Моею разделит с тобою пиршество тысячи лет. И всякого человека, который позаботится сделать приношения свои в день твоего поминовения, Я благословлю и водворю в

---

<sup>19</sup> Око Видящее и Ухо Внимающее " понятия, возникшие под влиянием восточных верований (ср. Волшебное Око египетского Гора, которым он оживил своего отца " бога Осириса).

собрание праведных и воздам ему в тридцать, шестьдесят и сто крат. И кто опишет повесть твоей жизни, твоих испытаний и твоего расставанья с миром и эту речь, вышедшую из Моих уст, того Я поручу твоей охране, пока она пребудет в этой жизни. Когда душа его покинет тело и настанет ему срок оставить этот мир, Я сожгу книгу грехов его<sup>20</sup> и не подвергну его никакому мучению в день Суда<sup>21</sup>; но он минует море огненное, перейдя его без страдания и без препятствий. Но не таков будет удел человека жадного и жестокого, который не исполнит того, что Я предписал. И тот, у кого родится сын и он назовет его Иосифом, " тот не узнает ни нищеты, ни вечной смерти. Почетные жители города собрались затем в месте, где было положено тело святого старца Иосифа. И, принеся с собою полосы материи, хотели обвинить его по обычаю, принятому между иудеями. Но они увидели, что саван его так плотно облекал его тело, что когда они хотели его снять, то не могли сдвинуть, и был он тверд, как железо, и не оказалось в нем ни одного шва, по которому можно было найти его край. Это привело их в великое удивление. Наконец, они отнесли его к пещере и открыли дверь, чтобы положить его тело с телами отцов его<sup>22</sup>. Тогда вспомнился Мне день, когда он шел со Мною в Египет, и Я подумал о всех тяготах, понесенных им из-за Меня, и Я долго оплакивал его смерть. И, склонившись к телу, Я сказал:

XXVIII. " О смерть, уничтожающая всякое знание и исторгающая столько слез и столько горестных воплей, поистине Бог, Отец Мой, даровал тебе эту власть. Люди гибнут из-за непослушания Адама и жены его Евы, и смерть не щадит никого из них. Но ни один не может быть взят из этого мира без дозволения Отца Моего. Были люди, жизнь которых продолжалась до девятист лет<sup>23</sup>, но их больше нет. И как бы долга ни была жизнь некоторых из них, все ушли, и ни один никогда не сказал: "Я не вкусил смерти".

И Отцу Моему угодно было положить эту кару человеку, и когда смерть видела, какое веление дано ей с неба, она сказала: "Я пойду на человека, и я создам большое потрясение вокруг него". Адам не покорился воле Отца Моего и преступил Его веления, Отец Мой разгневался на него и предал смерти"и так вошла смерть в этот мир. Если бы Адам сохранил повеления Отца Моего, смерть никогда не овладела бы им. Вы думаете, разве Я не мог бы испросить у Отца Моего, дабы послал Он колесницу огненную, чтобы принять тело отца Моего Иосифа и перенести его в обитель покоя, где ныне пребывает он со святыми? Но этот страх и наказание смерти посланы на весь род людской из-за грехопадения Адама. И по этой причине Я должен умереть во плоти не за дела Мои, но чтобы люди, созданные Мною, обрели милость.

XXIX. Сказав эти слова, Я обнял тело отца Моего Иосифа и оплакивал его. И вот открыли дверь гробницы и положили тело его рядом с телом отца его Иакова<sup>24</sup>. Сто одиннадцать лет исполнилось ему, когда он отошел; и никогда ни один зуб во рту его не доставил ему беспокойства, и глаза его сохранили всю свою пронизательность, стан его не согнулся, и силы его не уменьшились. Но он занимался своим делом плотничьего мастера до последнего дня жизни. И был это двадцать шестой день месяца Абиб.

---

20 По иудейскому преданию, перешедшему также в ислам, книга, в которой записаны грехи людей, будет предъявлена в Судный день, и по ней будет справляться архангел Михаил.

21 Имеется в виду Страшный суд.

22 . По древнееврейскому обычаю умерших хоронили в гробницах, высеченных в скале.

23 Имеются в виду ветхозаветные патриархи.

24 Иосиф назван сыном Иакова в родословии Иисуса, приведенном в Евангелии от Матфея; в Евангелии от Луки его отцом назван Илия (3:23).

XXX. Мы, апостолы, выслушав нашего Спасителя, встали, исполненные радости, почтили Его глубоким поклоном и сказали: "О наш Спаситель, Ты сказал нам великую милость, ибо мы слышали слова жизни. Но мы поражены судьбой Еноха и Илии, ибо они не были подвластны смерти<sup>25</sup>. Они обитают в жилищах праведных до сего дня, и тела их не видели тления. Но этот старец Иосиф, плотник, был Твоим отцом по плоти. Ты повелел нам идти по всему миру проповедовать святое Евангелие, сказав: "Возвестите им смерть отца Моего Иосифа и празднуйте святым торжеством день, посвященный ему<sup>26</sup>. Кто что-нибудь вычеркнет из этой речи или что-нибудь прибавит к ней, тот совершит грех". Иосиф с того дня, как Ты родился в Вифлееме, называл Тебя сыном своим по плоти. И мы недоумеваем, почему же Ты не сделал его бессмертным, как Еноха и Илию? Ведь говоришь, что он был праведник и избранный?"

XXXI. Спаситель наш сказал в ответ: "Пророчество Отца Моего исполнилось на Адаме по причине непослушания его, и все совершается по воле Отца Моего. Если человек преступает предписания Бога и творит дела дьявола, совершая грех, - его дни исполнились; ему сохраняется жизнь, чтобы он мог покаяться и избежать рук смерти. Если он упражняется в добрых делах, время жизни его продолжится, дабы распространились слухи о его преклонном возрасте и праведные подражали бы ему. Когда вы видите, чей дух скор на гнев, знайте - дни его сочтены, ибо такие погибают во цвете лет. Всякое пророчество, которое изрек Отец Мой о сынах человеческих, должно исполниться во всякой вещи. А что касается Еноха и Илии - они живы и по сей день, сохранив те же тела, с которыми родились. Что же до отца Моего Иосифа, то ему не дано, как им, остаться во плоти; и если бы человек прожил много тысяч лет на этой земле, все-таки он должен был сменить жизнь на смерть. И Я говорю вам, о братья Мои, что так нужно было, чтобы Енох и Илия снова пришли в этот мир при конце времени и чтобы утратили жизнь в день ужаса, тревоги, печали и великого смятения. Ибо антихрист умертвит четыре тела и прольет кровь, как воду, из-за презрения и позора, которым они его предадут при жизни, когда откроется нечестивость его."

XXXII. Тогда мы спросили: "О наш Господь, Бог и Спаситель! Кто же эти четверо, которых, как Ты сказал, погубит антихрист, потому что они восстанут против него? И Спаситель ответил: это Енох и Илия, Скила и Тавифа<sup>27</sup>. Услышав слова нашего Спасителя, мы возликовали и в радости воздали всякую славу и благодарение Господу нашему Богу и Спасителю "Иисусу Христу. Ему надлежат слава, честь, почет, владычество и хвала вместе с милосердным Отцом и Духом Святым, животворящим ныне, и во все времена, и во веки веков. Аминь."

---

25 ЕнохтлИлия: Енох "согласно апокифу" Книга Еноха" был взят живым на небо; Илия-пророк "согласно Ветхому завету был вознесен на небо на огненной колеснице (IV Цар 2:11 " 12). По иудейским верованиям, Илия вернется на землю перед приходом Мессии.

26 Эти слова свидетельствуют о начавшемся формировании культа святых, которого не было у первых христиан.

27 Скипа и Тавифа - имя Скила в Новом завете не упоминается. Тавифа - девица, воскрешенная согласно Деяниям апостолов Петром (9:40). (Русский перевод печатается по изданию: Апокрифические сказания о Христе. Вып. III, Книга Иосифа Плотинка Спб 1914.)

## Слово о сошествии Иоанна Предтечи во ад

### О произведении:

*ИОАНН ПРЕДТЕЧА - Предтеча Иисуса Христа и его Креститель - величайший христианский святой. В «Деисусе» только он изображается - наравне с Девой Марией - в особой близости к Христу. Для православия он - идеальный образец аскета, пустычника, приобретающий черты «ангела пустыни».*

*Сведения об Иоанне Предтече восходят к Евангелию. В нем говорится, что родителям и Иоанна Предтечи были священник Захария и его жена Елисавета. Само рождение Иоанна описывается как чудо и знак Господень. Захария и Елисавета долго были бесплодными, страстно мечтали о сыне, и наконец-то их молитва была услышана Богом. Весть о чудесном зачатии возвещается Захарии во время его служения в Иерусалимском Храме архангелом Гавриилом: «...жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн. И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его обрадуются». Захария удивился и не поверил архангелу. «За это,- объявил архангел,- ты будешь молчать, пока все не свершится». Так и случилось. Захарий действительно не мог говорить и объяснялся только знаками. Окончив дни своей службы в храме, он вернулся домой. Жена его Елисавета, зачав после этих дней, таилась пять месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».*

*По прошествии шести месяцев к Елисавете пришла в гости ее родственница Дева Мария, зачавшая в это время Спасителя Иисуса Христа. Во время этой встречи «вызрел младенец «во чреве Елисаветы», приветствуя Спасителя во чреве Марии, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом: «Благословенна Ты между женами и благословен плод чрева твоего». Когда наступило время, Елисавета родила сына, которого и нарекли именем Иоанн. После этого «отверзлись уста онемевшего Захарии «и начал он пророчествовать, говоря о том, что сбывается предсказанное древними пророками: «И ты, дитя мое, будешь назван пророком Всевышнего, потому что будешь идти впереди Господа, чтобы приготовить путь Ему, дать Его народу познание о спасении через прощение грехов, по любви и милости нашего Бога, который придет к нам с небес, как восходящее солнце, чтобы дать свет живущим во мраке смерти и направить наши пути к миру!». Ребенок рос и укреплялся духом. Он жил в пустынях, но о его жизни там известно лишь то, что он носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих и ел дикий мед и акриды (саранчу), то есть пищу бедных людей, исполняя таким образом самое строгое покаяние. Прошло почти тридцать лет, прежде чем слово Господне извлекло его из уединения, и он явился на Иордане, проповедуя крещение, покаяние и пришествие Мессии.*

*«Покайтесь! - говорил он - Царство Божье уже близко! .... Приготовьте путь Господу. Выпрямьте путь перед Ним!». Последний из ветхозаветных пророков называл Предтечу «Ангелом Господним», готовящим путь Мессии.*

*Народ стекался к нему со всех сторон. Полный силы и убежденности, он заставлял всех выслушивать строгие истины. Иоанн обращал свои грозные и призывающие к покаянию проповеди не только к простому народу. Он смело изрекал их перед земными властями. Он призывал всех обратиться к Богу за прощением грехов и принять крещение в подтверждение своего покаяния. Всех, кто исповедовал свои грехи, он крестил в реке Иордане. Вокруг него образуется община, состоящая из верных ему учеников, ведущих, как и он, аскетический образ жизни. К Иоанну*

*Крестителю приходят многие люди, и он обличает, как и ветхозаветные пророки, показное благочестие, требует соблюдения в первую очередь заповедей милосердия и взаимопомощи, заботы о бедных. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?». Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему; у кого есть пища, делай то же».*

*Добродетель и образ жизни Предтечи заставили многих почитать его Мессией, которого тогда с величайшим нетерпением все ожидали, потому что время, предсказанное пророками, уже наступило. И так у Иоанна спрашивали, тот ли он, которого ожидают. На это он отвечал: «Нет. Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу. Я крещу вас водой, но после меня придет тот, кто сильнее меня, я не достоин даже развязать ремни его сандалий. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Он пришел в мир для освобождения народа Божия. Он держит уже лопату в руке для очищения гумна Своего; плевелы он сожжет огнем неугасаемым, а пшеницу соберет в житницу Свою».*

*В это время Иисус вышел из Галилеи, явился на Иордане к Иоанну для принятия от него крещения. Благодаря своему пророческому дару, тот узнает в Иисусе, тогда еще никому не ведомом, Спасителя и отказывается делать это, требуя сам от Него крещения. По настоянию Иисуса он все же совершает над ним обряд крещения. И тогда вдруг открылись небеса, и на Иисуса сошел Дух Святой в виде голубя, а из небес раздался голос: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». После Иоаннова крещения начинает Спаситель свою проповедь. Первым он является людям, которых готовил Иоанн своими пророчествами и призывал к покаянию.*

*Но близок уже был конец славного поприща Предтечи. В одной из своих проповедей он публично осуждает царя Ирода, который взял себе в супруги жену своего брата, хотя тот был жив и не дал ей развода, и имел от нее детей. Иоанн не мог равнодушно взирать на это, восстал против царя и публично указал ему на беззаконие его. Оскорбленная Иродиада, жена Ирода, поклялась отомстить Иоанну и принудила своего супруга заключить его в темницу. Царь, однако, боялся казнить Предтечу, так как и сам отдавал должное святости этого человека и считал его пророком. Иродиада же искала случая погубить этого строгого обличителя ее беззакония. И случай вскоре представился.*

*Когда Ирод праздновал день своего рождения, дочь Иродады танцевала перед гостями, и так понравилась Ироду, что он обещал ей дать все, что она пожелает.*

*По наущению своей матери девушка просит подать ей сюда на подносе голову Иоанна Крестителя. Царя это очень опечалило, но так как он поклялся перед всеми гостями, то он повелел исполнить ее желание. И Иоанн был обезглавлен. Голову его принесли на подносе и отдали девушке, а та отнесла ее матери. Так закончил свои дни Иоанн Предтеча. Память святого, честного. Славного пророка Предтечи, Крестителя Господня Иоанна празднуется церковью семь раз:*

Слово на Святую Великую Пятницу

Страстной недели

отца нашего Евсевия, епископа

Александрийского

Господи, благослови, Отче!

О возлюбленные, подобает мне вам поведать, как благовествовал Иоанн Предтеча, сойдя во ад, и как вопрошали его находящиеся там.

Будучи в темнице, послал Иоанн своих учеников к Господу спросить Его: "Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?" Но не по неведению послал, ибо, перстом своим указуя, говорил о Нем: "Вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи всего мира". Еще же говорил Иоанн: "Я крещу вас в воде, но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем". Знал Его Иоанн - но услышал сокровенную тайну: как на земле он был Предтечею Господа, так и в аду должен Ему предшествовать и пребывающим там ответить, грядет ли Господь, Который их выведет оттуда. Не ведая же, какой дать ответ, отправил он учеников к Господу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти? А когда те вернулись с ответом, послал Ирод в темницу оруженосца, и он обезглавил Иоанна.

Свершил Предтеча Господень жизнь и сошел во ад, где приняли его пребывающие там . Были здесь среди прочих Авраам, Исаак, Иаков, пророк Исайя, и царь Давид, и весь

сонм святых пророков. И вопрошали все Иоанна о Господе, идет ли Он избавить их от этих мук или нет. Уже произнесено было предсказание о Нем, но все же иные говорили: "А вдруг не примет Он смерть за нас?!" Пророки же твердо отвечали: "Должен Он принять смерть - так поняли мы явленное нам будущее и так возвестили это всему миру". Тогда сказал Иоанн Предтеча: "Приблизьтесь, молю вас, и повторите, что прорекли вы миру о Христе, чтобы все, это слыша, воспряли".

И первым ответил великий пророк Давид:

- Открылось мне, что Он сойдет как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю!

Потом молвил Исайя:

- Я же видел, что Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил.

Потом еще один:

- Узрел я, как вместо двенадцати патриархов служат Ему двенадцать учеников, и сказал: вместо отцов Твоих будут сыновья Твои!

А другой:

- Мне же явил Дух Святой дела и чудеса, какие станет Он творить, и я прозрел и возгласил перед всем миром, что откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся.

А другой:

- Я же видел, что предаст Его ученик Его, и изрек слово: тот, который ел хлеб Мой, поднял на Меня пядю.

А другой:

- Мне же открылось, что за тридцать сребреников предаст Его тот, и я сказал: отвесят в уплату тридцать сребреников!

И опять молвил Исайя:

- Увидел я, что Его поведут в судилище, и объявил: сам Господь грядет со старейшинами над народом на суд.

Иеремия же прибавил:

- А я видел, что на кресте Ему распятым быть, и предрек положат дерево в пищу Его и отторгнут Его от земли живых

Наконец, последний заключил:

- Я же постиг, что положат Его в гроб, и сказал: положили Меня в ров преисподний, во мрак и в бездну...

Но Ад, слыша, как радуются пророки благой вести, принесенной Предтечею, о прибытии Христовом, спросил диавола:

- О ком толкуют эти высокоумные, что их так радует, о ком они благовествуют? Не разберу... Только видно, что велико их ликование!

Диавол же отвечал:

- Ничему не ужасайся и того, что они говорят, не бойся, на ликование же их не гляди. Обрадовал их Иоанн Предтеча, муж велеречивый, который, доколе он был на земле, говорил многое об этом человеке и твердил перед всем светом, что Он - Тот, Кто спасет мир. Но я вступил в Иродиаду, мой светоч и детище мое, и через нее возбудил гнев в царе Ироде, так что он во время пира повелел обезглавить Иоанна. Голову его я дал потом девице, и та, словно яблоком, играла ею на блюде. Тот же, о Котором он говорил, что это - Спаситель Израиля и всего мира, не спас даже его самого!

Но сказал Ад:

- Смотри, брат диавол, как бы нам не обмануться! Поостерегись и выведай, откуда Он и чей Он сын, ибо, ожидая Его, все весьма ликуют. Берегись, как бы нам, принимая одного, не потерять всех, добавок выставив себя на смех и поругание!

Выслушав это, диавол отправился к иудеям и обратил их против Иисуса; на шаг от них не отступался, наущая их распять Господа, ибо не ведал окаянный диавол, что смерть Господня станет для всех воскресением. На стезе алчности нашел наконец сатана Иуду и принялся готовить его предать Господа, превратив в сребролюбца. И вот он по наущению Диавола сказал иудеям: "Что вы дадите мне за то, что я вам предам Его?"

<...>

Когда же пошел и сказал эти слова Иуда, от лика ангельского себя отлучив, Иисус начал скорбеть и тосковать, молвив: "Душа Моя скорбит смертельно". О милосердии Господнем! О предателе скорбел, смерти не страшась, ибо был бессмертным. Но диавол, слыша это, подумал, что Он боится смерти, и воспрял. Возвратился он в ад и сказал:

- Будь наготове, брат мой Ад, и изыщи надежное место, где мы заключим так называемого Иисуса. Ибо обрек я его на смерть, и запас гвозди, и заострил копья, и намочил губку в уксусе, и восстановил против Него иудеев - орудие мое, так что через два дня я отдам Его тебе, брат мой Ад!

Много зла мне делал Иисус на земле, много гневил меня и многие сосуды мои осушил. Тех, которых я в зависти своей делал слепыми, Он единым словом исцелял; у кого разрушал я члены - таких Он укреплял, одр на плечах носить им повелевая. Одного я ослепил, затворивши очи его, и радовался, когда он бился о стену или падал в воду. Сей же, откуда ни возьмись, все мне испортил, и тот по единому Его слову начал видеть. А у другого я еще в утробе матери отнял зрение, чтобы никогда он не видел света. Сей же помазал его глаза грязью, говоря: пойдя, умойся в купальне Силоам, - и он прозрел.

И вот я, не находя себе места, взял с собою семь бесов, слуг моих, и двинулся куда подальше от Него. И встретил я доброго юношу, и вступил в него, и жил в нем. Но Сей, неведомо как дознавшись, явился и велел мне выйти из него. А когда я вышел, мне некуда было больше деться, и попросил я дать мне власть хоть над свиньями!

Еще же одна женщина впала из-за меня в недуг и двенадцать лет страдала кровотечением. Но тут, откуда ни возьмись, Сей - и, подойдя сзади, коснулась она края одежды Его, и тотчас течение крови ее остановилось.

И прогневался я, но бороться с Ним не мог и снова бежал оттуда, придя в края Тирские и Хананейские. Там встретила мне отроковица добрая, и я вступил в нее и жил в ней, творя зло и заставляя ее то кидаться в огонь, то биться о стены. Так я тешился с нею, а мать ее печалилась о ней. Вдруг неведомо откуда явился Сей, и мать той отроковицы, прослышав о Нем, пошла и рассказала так называемому Иисусу о дочери, говоря: "Помилуй меня, Иисусе, Сыне Божий! Дочь моя жестоко беснуется". Он же сказал в ответ: "О женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему". Вот ведь даже не Сам пришел прогнать нас, но женщине дал власть!

А в другой раз, когда Он плыл по морю, поднялась буря, и лодка, где был Иисус с учениками, покрылась волнами и грозила затонуть. Тогда ученики разбудили Его, и Он, встав, запретил морю, и послушались Его море и ветры, и сделалась великая тишина.

Ведя Его везде, я пошел в Вифанию, желая свергнуть в муку и забрать друга Его Лазаря. И привел я Лазаря к тебе, брат мой Ад, и не видали мы печали, считая, что вырвать его у тебя Он не в силах. Но Сей через четыре дня пришел откуда-то, а ты то ли спал, то ли не следил, и вот Он его похитил.

И вскричал Ад:

- Тот ли это, Который взял тогда Лазаря? Если Тот, то избавь меня, не води Его сюда! Один голос Его меня тогда устрасил и лишил всей силы. Этого ли Иисуса ты велишь мне заточить? Да Он, если явится сюда, всех, кто у нас есть, выведет! Я сгноил тело Лазаря так, что стало смердеть и разлагаться. Сей же когда воззвал: "Лазарь! Иди вон!" - тот тут же встал и, как лев, на лов из пещеры идущий, как орел парящий, всю немощь свою стряхнул в мгновение ока. Как мне его заточить?

Диавол же отвечал:

- Сила моя и твоя ненасытная утроба Его удержат. На это Ад:

- Какая сила? Да будь у тебя сила, ты бы поборолся с Ним, а не взваливал все на меня и иудеев!

Тогда диавол сказал:

- О боязливый и малодушный Ад! Мне столько Он сделал зла, а я не перестал бороться с Ним. Ты же, только однажды зло от Него претерпев, так испугался! Я, когда видел, что Он исцеляет телесные недуги, начал незримо мучить человеческие души. Нашел юношу по имени Матфей и вложил в сердце его жажду богатства, поставив его сборщиком пошлин. И слушался меня юноша, и радовал меня, всех утешая. Но Сей явился неведомо откуда и, идучи мимо, сказал: "Юноша, следуй за Мною". И по одному лишь слову его Матфей оставил все и последовал за Ним, сделавшись Его учеником, мне же - врагом. А я опечалился, но подумал, что Он выбрал этого юношу за то, что тот рослый, и потому только увел его от меня. И вот я, придя в края Иерихонские, нашел низкорослого человека по имени Закхей и вступил в него, поставив его сборщиком пошлин. Он развеял мою печаль о Матфее, и надеялся я, что по его росту не изберет его Сей. Но Он явился неведомо откуда и проходил мимо в толпе народа, Закхей же, не видя, кто идет, влез на смоковницу. Увидел его там Иисус и сказал: "Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме". И тот Его принял с радостью и раздал часть имущества своего нищим, а кого чем обидел, тем воздал вчетверо, И последовал за Ним, став Его учеником, мне же - врагом. А я, не находя себе места, подался к братьям моим иудеям и обратил их против Него.

И ответил Ад.

- Оставь Его, Он не твой!

Диавол же сказал.

- Я видел, что Он - человек, боящийся смерти, ибо, скорби предаваясь, признался Он: "Душа Моя скорбит смертельно".

На это Ад.

- Поступай, как хочешь. Попробуй побороть Его и, если ты победишь, заключи Его здесь и царствуй с иудеями. Но если ты Его не осилишь, то Он явится сюда и выведет всех, кого мы здесь взаперти держим, а тебя и слуг твоих свяжет и отдаст мне. Горе нам будет тогда, окаянными!

Выслушав это, диавол пошел к иудеям и обратил их против Господа. И собрались они, положив в совете погубить Иисуса. Тогда перед сбором их выступил Иуда и сказал: "Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его". И вот он, подойдя, облобызал Господа со словами: "Радуйся, равви". Господь же ответил: "То, для чего ты пришел, юноша, дерзай исполнить!"

О лобзание, исполненное беззакония! О целование, гибельное для души! Родня геенне огненной, блудница, облобызав ноги Господни, душу свою очистила от скверны, этот же свою душу погубил. Она, целуя, разорвала свиток грехов своих, этот же, целуя, вычеркнул себя из книги жизни. О премудрость женская! О неразумие ученика! Ей, лобзавшей ноги Господа, радуются ангелы и венец ей готовят, его же целованию радуются бесы, свивая петлю для него.

Тогда приблизились грешники и взяли Его, объемлющего дланью всю землю, и повели к Пилату. Пилат же сидел и судил Судию живых и мертвых. Прах на троне сидел, а Творец стоял перед ним и терпел. Судил же Пилат Господа за то, что Он - Спаситель всего мира! И когда он судил Его, жена Пилата послала сказать мужу: "Не делай зла Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала от Него". О беззаконие иудейское! О премудрость женская! Женщина, не читая ни закона, ни пророков, праведником Его нарекла, сказав: не властен ты над Ним. Старейшины же иудейские, которые читали и закон, и пророков, злодеем Его называли, говоря, что, мол, если бы Он не был злодеем, мы не предали бы Его тебе.

А окаянный диавол, видя знамение, которое было при кончине Его, когда померкло солнце и земля потряслась, так что и завеса в храме разодралась надвое, обрушились камни, видя самого себя посрамленным, поспешил в ад и возопил:

- Горе мне, окаянному! Я посрамлен - так помоги же, Ад, моему окаянству, закрой ворота и засовы железными их закрепи!

Уже настигал Господь диавола, предшествуемый силами небесными, когда заперты были ворота ада. И возгласили силы Господни:

- Отворите ворота ваши, князи тьмы! Отворитесь, ворота вечности, дайте войти Царю славы!

Ад же, не зная, что возразить, спросил изнутри:

- Кто это - Царь славы? Силы в ответ:

- Господь мощный и сильный, Господь, крепкий в бранях, И сказал Ад:

- Если так, то что Он ищет здесь, зачем оставил небо и сошел сюда?

Силы на это:

- Так как Он - Царь славы, прогнал Он врага и хочет, связав, дать его тебе, а воинов его - вон.

И напустился Ад на диавола:

- Трехголовый! Вельзевул! Придверник ангельский! Сеятель болезней! Не говорил ли я тебе: не поборешь ты Его! Не остерегал ли: тем все и кончится, и что ты тогда станешь делать, окаянный? Но ты меня не послушал! Так иди, если в силах, и бейся с Ним, я же помочь тебе уже не могу.

А окаянный диавол с плачем отвечал:

- Помилосердствуй, брат! Не отворяй ворота, покуда Он не подступился! Потрудись для меня, хотя я и посрамлен. Но кто бы не посрамился, подслушав, как Он скорбно, словно боясь смерти, говорит: "Душа Моя скорбит смертельно!" И потом, молясь Отцу Своему: "Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия!" Эти-то слова и обманули меня.

Силы же снова:

- Отворите ворота ваши, князи тьмы! И пророки вторили им:

- Откройте ворота, дайте войти Царю славы! Но пророк Давид, возражая, сказал:

- Не делайте этого, пусть сбудется пророчество мое: "Сокрушил Он врата медные и верев железные сломил".

И исполнилось написанное: "Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?" Господь наш Иисус Христос ада врата медные сокрушил и верев железные сломил. И сошел Он во ад и сказал заточенным здесь: "Ступайте в рай!" А они с пением и ликованием восклицали: "Благословен Грядущий во имя Господне!"

Потом Господь, схватив диавола и нерасторжимыми путами его связав, вывел пророков из ада со словами: "Ступайте в рай!"

И первым из них пророк Давид, ударяя по гусям, проговорил:

- Приидите, воспоем Господу и воскликнем Богу, Спасителю нашему, - ибо царь наш за нас боролся и победил.

Все же подхватили:

- Аллилуйя!

И вновь сказал Давид:

- Восплещите руками, все народы, воскликните Богу гласом радости - ибо царь наш боролся и победил.

А другой пророк сказал:

- Радуйся, дочь Сиона!

А другой:

- Восстань, Иерусалим, и оденься славой своей - ибо царь твой боролся и победил.

И так с ликованием поспешили они в рай, славя Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, Которому подобает всяческая слава, честь и поклонение во имя Отца, и Сына, и Духа Святого ныне, и присно, и во веки веков.

А войдя в рай, они встретили там разбойника и с ужасом его спросили:

- Кто впустил тебя, кто открыл тебе ворота? Что ты совершил, если прежде нас прошел сюда? Уж не явился ли ты убить или украсть?

Он же ответил:

- Не за дела мои допущен я сюда, по делам я даже близко встать не достоин! Но Владыка, милостивый человеколюбец, ввел меня в рай, хотя не делал я добра, а только злодеяния многие. Осудили меня иудеи на распятие вместе с бессмертным царем и убить хотели, но Иисус даровал мне жизнь вечную. Когда распяли меня с Господом, увидел я знамение на кресте и понял, что это - Сын Божий. И возопил я, возвысив голос: "Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!" И тотчас внял Господь мольбе моей и сказал: "Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю". И дал мне вот это знамение крестное, говоря: "Возьми и иди в рай; если же тебе преградит путь огненное оружие, покажи это знамение - и открыты будут ворота". Когда же хотел я войти, рай при виде моем преградил мне путь и закрыл предо мною ворота. Однако стоило мне показать знамение, как ворота отворились, и я вошел.

Но, не найдя там никого, я испугался и подумал про себя: "Где же Авраам, и Исаак, и Иаков, и остальное множество святых пророков?" И пока я изумлялся и недоумевал, справа, от востока, явились передо мною два мужа, старых годами, ликом же дивно прекрасных, и, подойдя, спросили меня: "Кто ты? Авраам ли, на которого ты похож видом? Или Моисей, который мудр, но косноязычен, тогда как твоя речь чиста? Но нет, ты разбойник, и вид у тебя разбойничий!" Я же рассказал им все: что я разбойник, но Владыка ввел меня в рай, так как я был Его спутником в смерти, которую Он принял за всех нас. И спросил я их: "А вы кто?" Тогда сказал один: "Я - Илия Фесвитянин, который на колеснице огненной вознесся на небо. Со мною же Енох, по воле Божией взятый сюда. Оба мы смерти не вкусили".

Выслушав это, пророки восславили Господа за то, что даровал Он грешникам. За то, что Он, повергнувший ад, смертью смертью поправил и древнее проклятие деревом крестным разрушил, сокрушил врата и вереи сломил, диавола связав, спас весь мир и в рай всех ввел, воскресши из мертвых. Господи, слава Тебе!

## Хождение Богородицы по мукам

### О произведении:

*ХОЖДЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ ПО МУКАМ* — переводной слав. апокриф, известный в древнерусской литературе уже в списках 12 в. Включен в древнейший слав. "индекс отреченных книг" в Изборнике Святослава 1073. Принадлежит к числу эсхатологических апокрифов, рассказывающих о мучениях грешных душ в аду в ожидании Страшного Суда. Точное время перевода с греческого языка неизвестно. Текст дошел до нас в нескольких видах, или редакциях, происхождение которых полностью не выяснено. Н. С. Тихонравов предположил существование двух славянских переводов апокрифа, а также то, что в византийской литературе была известна иная, отличная от древнерусской и более подробная редакция. Судя по большому количеству дошедших до нас списков и древнерусской рукописной традиции (особенно 17—18 вв.), произведение было очень популярным чтением, в т. ч. в старообрядческой среде с ее восприятием окружающего мира как царства Антихриста. По жанру Хождение близко "видениям" (ср. "Видение апостола Павла" с его картинами ада и рая). В Хождении Богородица просит покровителя небесного воинства (архистратига) Архангела Михаила показать ей различные муки, уготованные в аду неправедным христианам. В сопровождении архистратига, выступающего в роли Дантовского Вергилия (хотя сама поэма Данте возникла независимо и позже греческого текста), Богородица "ходит" по кругам ада, наблюдая страшные мучения грешников, описанные с необычайными подробностями и даже натурализмом. Грешники горят негасимым пламенем в смоляной реке, подвешены за язык, за ногти, корчатся на раскаленных железных крюках и т. п. Эти картины скрепляются диалогом между Архангелом Михаилом и Богородицей, которая каждый раз спрашивает у него, за какие конкретные прегрешения уготована людям та или иная мука. Здесь те, кто не соблюдал постов, не чтит церковные праздники, сплетники, взяточники, прелюбодее и т. д. Особо наказываются иереи (священники), плохо выполнявшие свой долг, а также язычники, поклонявшиеся при жизни своим божествам Трояну, Хорсу, Велесу и Перуну. Упоминание этих имен свидетельствует, что слав. текст Хождения появился на Руси достаточно рано, когда языческая вера была еще сильной. Богородица сомневается в божественной справедливости этих страшных мучений и выступает как заступница грешников. Трижды она обращается к своему всемогущему сыну Иисусу Христу с просьбой облегчить их участь. И лишь когда к ее мольбе присоединяются все небесные силы, Он соглашается дать грешникам временную передышку. Роль Богородицы — защитницы человеческого рода, выраженная в Хождении, определила особое внимание к этому памятнику. Его сюжет отразился в духовных стихах, позднее был использован Ф. М. Достоевским в Легенде о Великом Инквизиторе в ром. "Братья Карамазовы".

Святая богородица хотела помолиться господу богу нашему на горе Елеонской, чтобы во имя отца и сына и святого духа сошел архангел Михаил и поведал о муке, небесной и земной. И когда известили о слове этом, архангел Михаил сошел с небес, и четыреста ангелов с ним: сто с восточной стороны, сто — с западной, сто — с южной, сто — с северной. И поцеловали благодатную Михаил и ангелы, и сказал архангел: «Радуйся, завершение отца, радуйся, обитель сына, радуйся, похвала святого духа, радуйся, Христово... и утверждение, радуйся, Давидово пророчество, радуйся, святое поклонение, радуйся, пророками провозглашенная, радуйся, стоящая всех выше у престола божьего».

Ответила благодатная архангелу Михаилу: «Радуйся ты, архистратиг, первый воин, служитель невидимого отца и светильник, радуйся, Михаил, первый в воинстве, повеление святого духа; радуйся, архистратиг, похвала серафимам, радуйся, Михаил-архистратиг, побеждающий мучителей, а пред престолом владыки достойно стоящий. Радуйся, Михаил, свет непрестанный, радуйся, архистратиг, первый воин, хотевший вострубить и разбудить

мертвых от века; радуйся, Михаил, главный над всеми небесными силами, первый, кого прославили до престола божьего все ангелы».

Богородица хотела увидеть, как мучаются души человеческие, и сказала архистратигу Михаилу: «Поведай мне обо всем, на земле сущем». И ответил ей Михаил: «Что просишь, благодатная, я все тебе расскажу». И спросила его святая богородица: «Сколько мук, какими мучится род христианский?» И ответил ей архистратиг: «Не назвать всех мук». Попросила его благодатная: «Расскажи мне, какие они на небесах и на земле?»

Тогда архистратиг велел явиться ангелам с юга, и разверзся ад, и увидела богородица мучающихся в аду, и было тут множество мужей и жен, и вопили они. И спросила благодатная архистратига: «Кто это такие?» И ответил архистратиг: «Это те, кто не веровали в отца и сына и святого духа, забыли бога и веровали в то, что сотворил нам бог для трудов наших, прозвав это богами: солнце и месяц, землю и воду, и зверей и гадов; все это те люди сделали из камней, — Траяна, Хорса, Велеса, Перуна в богов превратили, и были одержимы злым бесом, и веровали, и до сих пор во мраке злом находятся, потому здесь так мучаются».

В другом месте она увидела тьму великую, и спросила святая богородица: «Что это за тьма такая и кто находится там?» И ответил архистратиг: «Много душ пребывает в том месте». И сказала святая богородица: «Пусть разойдется тьма, чтобы видела я и те мучения». Ангелы, стерегущие их, отвечали:

«Сказано, что не увидят они света, пока не явится твой благостный сын, светлее чем семь солнц». Огорчилась святая богородица, подняла на ангела свои глаза и, взглянув на невидимый престол своего отца, сказала: «Во имя отца и сына и святого духа пусть рассеется тьма сия, чтобы я видела это мучение». И распалась тьма, и показалось семь небес, и было тут множество народу, мужей и жен, и доносился вопль сильный и плач. Увидев их, пресвятая богородица воскликнула со слезами: «Что вы сделали, несчастные, окаянные, как попали вы сюда, недостойные?» Но ни голоса, ни ответа не слышно было, и сказали ангелы, стерегущие их: «Почему не отвечаете?» Тогда мученики сказали: «О благодатная, мы никогда света не видели, не можем смотреть наверх». Святая богородица взглянула на них и горько заплакала. И увидели мученики ее, и сказали ей: «Почему ты пришла к нам, святая богородица? Твой сын благодатный приходил на землю и не спросил нас ни о чем, ни прадед Авраам, ни пророк Моисей, ни Иоанн Креститель, ни апостол Павел, божий любимец, но ты, пресвятая богородица, заступница, ты, стена роду христианскому, молишь бога, как же ты пришла к нам, бедным?» Тогда спросила святая богородица у архистратига Михаила: «В чем их грех?» И ответил Михаил: «Это те, кто не верил в отца и сына и святого духа, и в тебя, святая богородица. Они не хотели проповедовать имени твоего и что родился от тебя наш Иисус Христос, воплотился и освятил землю крещением — вот из-за этого и мучаются они там». И вновь заплакала святая богородица, и спросила их: «Почему вы впали в соблазны, разве не знаете, что вся тварь чтит мое имя?»

Прорекла это святая богородица, и снова застлала их тьма. Архистратиг спросил ее: «Куда хочешь теперь, благодатная, на юг или на север?» И ответила благодатная: «Пойдем к югу». Тогда повернулись херувимы и серафимы и четыреста ангелов, привели богородицу на южную сторону, где протекала огненная река, там было множество мужей и жен, все погружены в реку — одни до пояса, другие до подмышек, третьи по шею, а иные с головой.

Увидев их, святая богородица заплакала громким голосом и спросила архистратига: «Кто это, по пояс в огонь погруженные?» И сказал ей архистратиг: «Это те, кого прокляли отцы и матери, за это здесь, проклятые, мучаются». Снова спросила богородица: «А кто те, что до

подмышек в огне?» И ответил ей архистратиг: «Это были близкие кумовья, а меж собой враждовали, а другие блуд творили, за это здесь и мучаются». И спросила пресвятая богородица: «А кто те, что по шею в огненном пламени?» И сказал ей архангел: «Это те, кто ел человеческое мясо, за то здесь и мучаются так». И спросила святая богородица: «А кто те, что с головой ввержены в огонь?» И ответил ей архистратиг: «Это те, госпожа, которые, крест честной держа, ложно клялись силами честного креста, а даже ангелы при взгляде на него трепещут и со страхом поклоняются ему. Эти же люди, держа крест, клянутся на нем, не зная, какая мука их ожидает, потому-то так и мучаются».

И увидела святая богородица мужа, висящего за ноги, поедаемого червями, и спросила ангела: «Кто это? Какой грех он совершил?» И сказал ей архистратиг: «Это человек, который получал прибыль за свое золото и серебро, за то он навеки мучается».

И увидела богородица жену, подвешенную за зубы, разные змеи выползали из ее рта и поедали ее. Видя это, пресвятая спросила ангела: «Что это за женщина и в чем грех ее?» И отвечал архистратиг, и сказал ей: «Эта женщина, госпожа, ходила к своим близким и к соседям, слушала, что про них говорят, и ссорилась с ними, распуская сплетни. Из-за этого и мучается». И сказала святая богородица: «Лучше бы такому человеку не родиться». Михаил сказал ей: «Еще не видела ты, святая богородица, великих мук». Святая сказала архистратигу: «Пойдем и увидим все муки». И сказал Михаил: «Куда ты хочешь идти, благодатная?» Святая ответила: «На север». И, повернувшись, херувимы и серафимы и четыреста ангелов вывели благодатную на север. Там расстилалось огненное облако, а посреди него стояли раскаленные скамьи, и на них лежало множество мужей и жен. Увидев это, святая вздохнула и сказала архистратигу: «Кто это такие, в чем согрешили?» Архистратиг сказал: «Это те, кто в святое воскресение не встают на заутреню, ленятся и лежат, как мертвые, за это они мучаются». И сказала святая богородица: «Но если кто не может встать, то какой грех сотворили они?» И ответил Михаил: «Послушай, святая, если у кого загорится дом с четырех сторон, и обойдет его огонь кругом, и сгорит этот человек, так как встать не сможет, то он не грешен».

В другом месте богородица увидела огненные столы и горящих на них многих мужей и жен, и святая спросила архистратига: ...«Те, кто попов не почитает, не встает им навстречу, когда они идут из церкви божией, — из-за этого и мучаются».

И увидела святая богородица железное дерево, с железными ветвями и сучьями, а на вершине его были железные крюки, а на них множество мужей и жен, подвешенных за языки. Увидев это, святая заплакала и спросила Михаила: «Кто это, в чем их грехи?» И сказал архистратиг: «Это клеветники и сводники, разлучившие брата с братом и мужа с женой». И сказал Михаил: «Послушай, пресвятая, что я тебе скажу о них. Если кто-то хотел креститься и покаяться в своих грехах, то эти клеветники отговаривали их и не наставляли их к спасению. За это они навек мучаются».

А в другом месте святая увидела мужа, подвешенного за ноги и за руки с четырех сторон, за края ногтей его. Он сильно исходил кровью, а язык его от огненного пламени скрутился, и не мог он ни вздохнуть, ни сказать: «Господи, помилуй меня». Глядя на него, пресвятая богородица сказала: «Господи, помилуй» — трижды — и сотворила молитву. К ней подошел ангел, владеющий муками, чтобы освободить этому человеку язык. И спросила его святая: «Кто этот бедный человек, который так мучается?» И сказал ангел: «Это эконо́м и служитель церкви, он не волю божию творил, но продавал сосуды и церковную утварь и говорил: «Кто работает в церкви, тот от церкви и питается», поэтому он и мучается здесь». И сказала святая: «Что заслужил, то и получает». И ангел снова связал ему язык.

И сказал архистратиг: «Пойдем, госпожа, покажу тебе, где мучаются иереи». И она увидела попов, подвешенных за края ногтей, от их голов исходил огонь и опалял их. Увидев это, пресвятая спросила: «Кто они и в чем согрешили?» И ответил Михаил: «Это те, кто служили литургию, и пред престолом божьим предстояли, почитая себя достойными. А когда совершали проскомидию, не хранили просвиру, роняли крупинки ее, как звезды божий, на землю. И тогда колебался страшный престол и подножие божие дрожало, за то они теперь так мучаются».

И увидела святая мужа и крылатого змея с тремя головами — одна голова была обращена к глазам мужа, а другая — к его губам. И сказал архистратиг: «Этот бедный человек не может отдохнуть от змея». И добавил архистратиг: «Он, госпожа, и святые книги, и Евангелие прочитал, а сам не следовал им. Учил людей, а сам не волю божию творил, а жил в блуде и беззаконии».

И сказал предводитель господних сил: «Пойдем, пресвятая, я покажу тебе, где мучается чин ангельский и апостольский». И святая увидела, что они лежали, объятые огненным пламенем и поедаемые червем неусыпающим. Святая спросила: «Кто это такие?» И отвечал ей Михаил: «Это те, кто имеет образ ангельский и апостольский, на земле называются славными именами патриархов и епископов, и говорили им: «Благословите, отцы святые»; но на небесах они не звались святыми, так как не сделали ничего, чтобы иметь ангельский и апостольский образ, за это и мучаются так».

И увидела пресвятая женщин, подвешенных за ногти, и пламя выходило у них изо рта и опаляло их, а змея выползала из пламени того и обвивала их. Они вопили: «Помилуйте нас, так как мы одни мучаемся тяжелее всех». И, заплавав, спросила святая: «В чем их грехи?» И ответил архистратиг: «Это попадьи, которые не почитали своих попов и после их смерти выходили замуж, поэтому и мучаются».

И увидела богородица других женщин, лежащих в огне, поедаемых разными змеями, и спросила святая: «В чем их грехи?» И ответил Михаил: «Это монастырские черницы, которые тело свое предавали блуду, потому здесь они мучаются».

И сказал архистратиг: «Пойдем, пресвятая, я покажу тебе, где мучается множество грешников». И святая увидела реку огненную, и словно кровь текла в той реке, которая затопила всю землю, а посреди ее вод — многих грешников. Увидев это, богородица прослезилась и сказала: «В чем их грехи?» Ответил архистратиг: «Это блудники и прелюбодеи, воры, тайно подслушивающие, что говорят близкие, это сводники и клеветники, и те, кто пожинали чужие нивы и срывали чужие плоды, те, кто питается чужими трудами, разлучают супругов, пьяницы, немилосердные князья, епископы и патриархи, цари, не творившие волю божью, сребролюбцы, наживающие деньги, беззаконники». Услышав это, пречистая богородица заплакала и сказала: «О горе грешникам!» И добавила архистратигу: «Лучше таким грешникам и не рождаться!»

И спросил ее Михаил. «Отчего плачешь, святая? Разве ты не видела великих мучений?» И ответила пресвятая: «Поведи меня, чтобы я увидела все мучения». И сказал ей Михаил: «Пойдем, благодатная, куда хочешь, на восток или на запад, в рай, направо или налево, где великие мучения?» И ответила пресвятая: «Пойдем на левую сторону». Херувимы и серафимы и четыреста ангелов услышали пресвятой слово и, повернувшись, вывели ее от востока в левую сторону, а около той реки была глубокая тьма; там лежало много мужей и жен. И вокруг клокотало, словно в котле и словно морские волны разбивались над грешниками, и когда волны вздымались, то погружались грешники на тысячу локтей, не в силах сказать: «Праведный судья, помилуй нас». Их непрестанно ели черви, и был слышен

скрежет зубовой. И увидели пресвятую сторожившие грешников ангелы, и вскричали в один голос: «Свят, свят, свят, боже святой, и ты, богородица, благословляем тебя и сына божия, родившегося у тебя, так как спокон века не видели света, а сейчас видим свет благодаря тебе, богородица». И снова вскричали они все вместе: «Радуйся, благодатная богородица, радуйся, сияние света вечного, радуйся, святой архистратиг Михаил, молящийся владычице за весь мир, мы же видим мучающихся грешников и сильно скорбим».

Богородица увидела, что ангелы печальны и грустны из-за грешников, расплакалась пресвятая, и вскричали все в один голос: «Хорошо, что вы пришли в эту тьму увидеть нас и наше мучение, помолись, пресвятая, с архистратигом». И, слыша плач и крик грешников, сама зарыдала, причитая и говоря: «Господи, помилуй нас», чтобы, когда кончила молитву, утихла речная буря и огненные волны; и явились грешники, словно семена горчичные. Увидев это, заплакала святая и спросила: «Что это за река и волны ее?» И ответил ей архистратиг: «Это река вся смоляная, а волны ее все огненные, а те, кто в них мучается, это жиды, которые мучили господа нашего Иисуса Христа, сына божия; это все народы, которые крестились во имя отца и сына и святого духа и, называясь христианами, веруют в демонов и отказались от бога и святого крещения; здесь те, кто блуд творил после святого крещения с кумами своими, с матерями своими и дочерьми, и отравители, которые морят людей ядами, оружием убивают людей и удушают своих детей, за свои дела и мучаются они так». И сказала святая: «Пусть будет так по заслугам их!» И снова залила их бурная река и огненные волны, и тьма покрыла их. И сказал Михаил богородице: «Если кто попадет в эту тьму, не будет бог помнить его». И сказала пресвятая: «О, горе грешникам в неугасимом пламени сего огня!»

И сказал ей архистратиг: «Пойдем, пресвятая, я покажу тебе огненное озеро, где мучается род христианский». И она увидела и услышала их плач и вопль, а самих грешников не было видно, и спросила: «В чем грех тех, кто здесь находится?» И сказал ей Михаил: «Это те, что крестились и крест поминали, а творили дьявольские дела и не успевали покаяться, из-за этого они так мучаются здесь».

И сказала пресвятая архистратигу: «Единственную молитву обращаю к тебе, чтобы и я могла войти и мучиться с христианами, потому что они назвались чадами сына моего». И сказал архистратиг: «Будь в раю». И ответила пресвятая: «Молю тебя, чтобы ты позвал воинство семи небес и все воинство ангелов для того, чтобы помолиться за грешников, и пусть услышит нас господь бог и помилует их».

«Жив господь бог, имя его величественно, мы поклоняемся господу, семижды днем и семижды ночью, когда хвалу возносим владыке и за грешников просим, госпожа, но нисколько нас не слышит владыка». И сказала пресвятая богородица: «Молим тебя, вели ангельскому воинству вознести меня на небесную высоту и поставить перед невидимым отцом».

И архистратиг повелел, и появились херувимы и серафимы, и вознесли благодатную на высоту небесную, и поставили ее перед невидимым отцом у престола; богородица воздела руки к благодатному сыну своему и сказала: «Помилуй грешников, владыка, так как я видела и не могу переносить их мучений, пусть буду и я мучаться вместе с христианами». И раздался голос, ей говоривший: «Как я помилую их? Вижу гвозди в дланях сына моего, и не знаю, как можно их помирить». И сказала богородица: «Владыка, я не прошу за неверных жидов, но прошу милосердия твоего для христиан». И раздался голос, говоривший: «Вижу, что братию мою не помиловали, и не могу тех помиловать». И снова сказала пресвятая: «Помилуй, владыко, грешников, помилуй, господи, сотворенных твоими руками, потому что

они по всей земле произносят твое имя, и в мучениях, и во всех местах по всей земле, говоря: «Пресвятая госпожа богородица, помоги нам», и когда человек рождается, говорит: «Святая богородица, помоги мне». Тогда сказал ей господь: «Послушай, пресвятая богородица, владычица, нет того человека, кто не молился бы имени твоему, и я не оставлю их ни на небесах, ни на земле».

И сказала пресвятая богородица: «Где пророк Моисей, где все пророки и вы, отцы, которые никогда не грешили, где Павел, божий любимец, где воскресение, христианская похвала, где сила честного креста, которая избавила Адама и Еву от проклятия?» Тогда архистратиг Михаил и все ангелы сказали: «Помилуй, владыко, грешных». Тогда Моисей возопил, говоря: «Помилуй, владыко, ведь я дал им закон твой». Тогда Иоанн вскричал, говоря: «Помилуй, владыко, я твое Евангелие им проповедовал». Тогда и Павел возопил, говоря: «Помилуй, господи владыка, так как я церквям дал твое послание». И сказал господь бог: «Послушайте вы все: если по Евангелию моему или по закону моему и если по евангельской проповеди, которую провозгласил Иоанн, по посланиям, которые принес Павел, судить — то такой суд и примут. И имеют ангелы, за что просить, только: «Помилуй, господи, — праведны мы». И сказала пресвятая богородица: «Помилуй, владыка, грешников, так как они Евангелие приняли и закон твой сохранили». Тогда господь сказал ей: «Послушай, пресвятая, если кто-то из них сделал зло, но не покаялся в рабстве — а ты верно говоришь, что они закону твоему научились, — и снова они сделали зло, когда не отплатили им за зло, что говорю — уже сказано, и воздается им по злобе их». Тогда все святые, слышавшие владыку, говорящего это, не смели ничего ответить.

И увидела пресвятая, что никто ничего не сказал и господь святых не послушал, но удаляет от грешников свою милость, и сказала пресвятая: «Где архистратиг Гавриил, который возвестил мне: «Радуйся, так как ты прежде всех услышала отца, он теперь на грешников не смотрит»; где великий, тот, кто носит город на вершине своей и на единой земле, а земля из-за гнусных человеческих дел раскололась, и послал господь бог своего сына, и утвердил земной плод? Где служители престола, где Иоанн Богослов? Почему не молитесь с нами владыке за христианских грешников? Разве вы не видите, что я плачу о грешниках? Придите все ангелы и все, кто на небесах, придите все праведные, кого оправдал господь, вам позволено молиться за грешников. Приди и ты, Михаил, ты — первый среди бесплотных, стоящих у престола божия,— вели всем припасть к невидимому отцу, и не подымемя, пока не послушает нас бог и не помилует грешников». Тогда Михаил пал ниц пред престолом, и с ним все лики небесные и все чины бесплотных. И увидел владыка моление святых, смилостивился ради сына своего едиnorodного и сказал: «Сойди, сын мой возлюбленный, посмотри на моление святых и яви лицо свое грешникам».

И сошел господь с невидимого престола, и его увидели сидящие во тьме, и возопили в один голос, говоря: «Помилуй нас, сын божий, помилуй нас, царь всех времен!» И сказал владыка: «Слушайте все. Я рай насадил и создал человека по образу своему, и сделал его хозяином рая, и дал им вечную жизнь, они же ослушались и в своем желании согрешили, и предались смерти; я не хотел видеть, как дьявол мучает творение моих рук, сошел на землю и воплотился в деву, вознесся на крест, чтобы их освободить от рабства и от первого проклятия; просил воды, а дали мне желчи, смешанной с уксусом; руки мои создали человека, и они положили меня во гроб, и сошел я в ад, победил своего врага, избранных своих воскресил, благословил Иордан, чтобы искупить ваше первое проклятие, а вы пренебрегли покаянием в грехах своих. Христианами вы называетесь только на словах, а заповедей моих не соблюдаете — поэтому и находитесь в огне негасимом, и не помилую вас. Теперь же ради милосердия моего отца, который послал меня к вам, ради молитв матери моей, которая много плакала о вас, ради завета архистратига Михаила и ради многих моих мучеников, которые много страдали за вас,— я даю вам, мучающимся день и ночь, покой от

Великого четверга до Троицына дня, прославьте отца и сына и святого духа». И все отвечали: «Слава милосердию твоему».

Слава отцу и сыну и святому духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

### Кузьмин Михаил<sup>28</sup> ХОЖДЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ ПО МУКАМ

Всходила Пречистая  
На гору высокую,  
Увидела Чистая  
Михайла-Архангела,  
Сказала Пречистая  
Михайлу-Архангелу:  
"Ты светлый, пресветлый  
Мих\_а\_ил-Архангел,  
Сведи меня видеть  
Всю муку людскую,  
Как мучатся грешники,  
Бога не знавшие,  
Христа позабывшие,  
Зло творившие".  
Повел пречистую  
Мих\_а\_ил-Архангел  
По всем по мукам  
По мученским:  
В геенну огненную,  
В тьму кромешную,  
В огонь неусыпающий,  
В реку огненную.  
Что на севере муки  
И на юге,  
На востоке солнца  
И на западе.  
Видела Чистая  
Все муки людские,  
Как мучатся грешники,  
Бога не знавшие,  
Христа позабывшие,  
Зло творившие:  
Князя, попы и мирская чадь,  
Что в церковь не хаживали,  
Канунов не читывали,  
Святых книг не слыхивали,

---

28 **Кузьмин** - Михаил Алексеевич (1875-1936), русский писатель, композитор, музыкальный критик. Примыкал к символизму, затем к акмеизму. Сборник стихов "Александрийские песни" (1921), "Форель разбивает лед" (1929). Проза (повесть "Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро", 1919; романы "Тихий страж", 1916, и др.). Переводы зарубежных классиков (Апулей). Вокальные произведения (многие на собственные тексты), музыка для драматического театра.

Заутрени просыпали,  
Вечерни пропивали,  
С кумами блудили,  
Нищих прогоняли,  
Странных не принимали,  
Пьяницы, зернщики,  
Скоморохи, попы ленивые,  
Немилостивые, нежалостливые,  
Все лихие скаредные  
Дела сотворшие.  
Как увидела Чистая  
Все муки людские,  
Восплакала, возрыдала,  
Грешникам говорила:  
"Вы бедные, бедные грешники,  
Бедные вы, несчастные,  
Лучше бы вам не родиться.  
Ты светлый, пресветлый  
Мих\_а\_ил-Архангел,  
Вверзи меня  
В геенну огненную:  
Хочу я мучиться  
С грешными чадами Божьими".  
Сказал Пречистой  
Мих\_а\_ил-Архангел:  
"Владычица Богородица,  
Госпожа моя Пресветлая!  
Твое дело - в раю покоиться,  
А грешникам - в аду кипеть.  
А попроси лучше Сына Своего,  
Исуса Христа Единородного,  
Да помилует Он грешников".  
Не послушал Господь Богородицы,  
Не помиловал Он грешников,  
И опять взмолилась Пречистая:  
"Где вы, пророки, апостолы,  
Где ты, Моисей Боговидец,  
Даниил с тремя отроки,  
Иван Богословец, Христов возлюбленный,  
Где ты, Никола угодник,  
Пятница, красота христианская?  
Припадите вы ко Господу,  
Да помилует Он грешников!"  
Не послушал Господь Богородицы,  
Не помиловал Он грешников,  
И втретие вскричала Пречистая:  
"Где ты, сила небесная:  
Ангелы и архангелы,  
Херувимы и серафимы,  
Где ты, Мих\_а\_ил-Архангел,  
Архистратиг вой небесных?  
Припадите вы ко Господу,

Да помилует Он грешников!"  
И припали все святые ангелы,  
Пророки, апостолы,  
Иван Богословец, Христов возлюбленный,  
Пятница, красота христианская, -  
И застонала высота поднебесная  
От их плача-рыдания.  
И услышал их Господь Милостивый,  
И сжалился Он над грешниками:  
Дал им покой и веселие  
От Великого Четверга  
До святых Пятидесятницы.

[1901]

**Сказание Отца нашего Агапия, для чего оставляют  
свои семьи, и дома, и жен, и детей, и, взяв крест,  
следуют за Господом, как велит Евангелие**

**О произведении:**

**Комментарий:**

*Этот апокриф интересен тем, что сохранил одно из ранних в древнерусской литературе описаний рая. Сохранилась обширная греческая рукописная традиция «Сказания». Русский перевод с греческого известен по списку XII—XIII вв. в составе Успенского сборника. Более краткий вариант этого «Сказания» с XIII в. вошел в древнерусские Прологи.*

*Рай представлялся средневековым читателям реально существующим пространством, где-то «на востоцѣ», прекрасным садом, огражденным высокими стенами (оградой), полным необыкновенных плодов и цветов, звенящим от пения неземных птиц. В богословских спорах середины XIV в. о том, существует ли действительно «рай земной», или только «рай мысленный», новгородский архиепископ Василий Калика в «Послании епископу Феодору о земном рае» в подтверждение существования последнего сослался на старца Агапия как на очевидца рая (ПСРЛ, т. VI. СПб., 1853. С. 87—89). «Сказание» своим описанием рая представляет как бы своеобразный антипод «Хождению Богородицы по мукам»; оно входит в группу эсхатологических апокрифов, хорошо известных славяно-русской книжной традиции (Павлово Видение, Видение пророка Исаяи, Видение пророка Даниила, Откровение Иоанну Богослову на горе Фаворской, Сказание Макария Римского о рае (Житие Макария Римского) и др.). «Если “Хождение Богородицы по мукам” рассказывало читателям об адских мучениях, ожидающих грешника после смерти, то “Сказание отца нашего Агапия” главным образом показывает трудность, необычность проникновения в рай и гораздо меньше места уделяет описанию жизни в самом раю» (О. А. Белоброва, О. В. Творогов. Переводная беллетристика XI—XIII вв. // Истоки русской беллетристики. Л., 1970. С. 151). Это последовательный рассказ о том, как по повелению Божьему инок Агапий уходит из монастыря (в ряде более поздних списков он назван игуменом*

монастыря). Он прощается с братией и назначает нового игумена, словно перед смертью, а затем отправляется в путь, который оказывается не только реальным путем через непроходимые леса и море в конкретное место — райский сад, к Христу, одновременно это путь духовный, путь «после смерти», путь познания ответа на вопрос, для чего люди оставляют своих близких и следуют «за Господом».

Сюжетно «Сказание» построено как преодоление цепи препятствий на этом пути. В нем соединяются христианская символика и фольклорные, особенно сказочные, мотивы. Так, 12 корабельщиков и 12 мужей в светлых одеждах — это 12 апостолов, виноградные гроздья — души человеческие. Райский сад полон ослепительного света, райская пища сладка, райский источник бел, как молоко. «Сказание» продолжает средневековую христианскую традицию «райских» описаний. В целом она беднее описаний Ада. Для того чтобы Агапий попал в райский сад, необходимо пересечь большое водное пространство — море (сказочная страна или цель поисков сказочного героя часто находится «на море-на-окияне, на острове-на-Буяне»). В пути Агапию помогают «помощные» персонажи: «детище малый» и два мужа, старец Илья Фезвитянин (пророк Илия), орел. На разных отрезках пути все они ведут Агапия или указывают ему дорогу. Агапия подстерегает опасность то в виде диких зверей, прячущихся у морского залива, то в виде бури. И здесь его выручает волшебный предмет: ломоть хлеба, который он получил в раю и при помощи которого получает возможность совершать чудеса. Этот чудодейственный хлеб — символ божественного познания. Немаловажную роль в построении сюжета играют исполнение предсказаний и узнавание. Древнерусский читатель видел в «Сказании отца нашего Агапия» конкретизацию символических представлений, увлекательно построенную народно-христианскую легенду. Одновременно в «Сказании» можно обнаружить и определенные черты житийного жанра, а во многих поздних списках оно прямо названо «житием».<sup>29</sup>

Текст «Сказания» печатается по тексту Успенского сборника, изданного в кн.: Успенский сборник XII—XIII вв. Под ред. С. И. Коткова. М., 1971. С. 466—473.

Господи, благослови, Отче!

Отец наш Агапий с детства начал бояться Бога и хранить его заповеди. Прожил он дома шестнадцать лет, и ушел в монастырь, и провел там еще шестнадцать лет, ежедневно и еженощно молясь Господу и говоря: «Господи, скажи мне, для чего оставляют дома и семьи свои и следуют за Тобою?» И так он молился. Была услышана Богом его молитва в девятом часу утра. Сказал ему голос: «Агапий, раб мой, молитва твоя, дошед ко мне, принята, и вот увожу тебя из монастыря, и веду

---

29 Перевод и комментарии М. В. Рождественской// Библиотека литературы Древней Руси. Т. 3. - <http://lib.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4932>

тебя по путям моим. Когда выйдешь из монастыря, увидишь орла, и куда он поведет тебя, следуй за ним».

Агапий же сказал: «Да будет имя Господа благословенно отныне и вовеки». И, поднявшись, вышел из церкви. Он собрал всех монахов и сказал им: «Братья, кого вы хотите, чтобы я поставил игуменом вместо себя?» Братья ответили: «А куда сам ты собираешься от нас?» Агапий сказал им: «Господь Бог уводит меня от вас, и я иду по пути Господнему. А вы кого хотите, чтобы я поставил старшим над вами?» Монахи же ответили: «Кого тебе угодно, того и поставь игуменом». Агапий назначил им игуменом самого старого монаха и, устроив так и поцеловав их, ушел из монастыря, сказав: «Мир вам, и Господь с вами». И когда он пошел по дороге, увидел, что орел слетает к нему с небес, и Агапий преисполнился Святым Духом. Орел же, слетев к нему, полетел перед ним, указывая путь. Агапий точно следовал по пути за ним. И орел привел его к морскому заливу, а сам улетел от него.

Агапий стоял на берегу, раздумывая, как бы ему перебраться через море, так как в морских заливах обитали дикие звери, которые поедали людей. Агапий сильно испугался. И когда от него улетел орел, он не мог решить, куда же ему идти. Стоя на берегу, он увидел, что плывет корабль, очень обрадовался и приблизился к морю. Он увидел на корабле ребенка и двух взрослых мужей. И когда Агапий хотел поклониться им и сказать «Добрый путь вам!», тогда малый ребенок первый сказал Агапию: «Агапий, здоров ли ты, что ты тут в заливах морских делаешь, разве не знаешь, что здесь водятся дикие звери и они могут съесть тебя?» Агапий ответил ребенку: «Кто сказал тебе мое имя, откуда ты меня знаешь?» Малый ребенок сказал: «Агапий, а ты не узнаешь меня? Разве не я живу по соседству с твоим монастырем? Не мой ли отец тот (имя его назвал), и не мои ли братья послушничают у тебя в монастыре?» И назвал всех по именам. Агапий, воздев руки, помолился Господу, говоря: «Господи, прославляю тебя за то, что послал мне встречу со своим сородичем в этих пустынных местах и глубинах морских». Ребенок спросил его: «Агапий, куда держишь путь и куда хочешь идти?» И ответил Агапий: «Не знаю я ни места, ни цели, куда идти, но путь мой — Господь Бог». Малый же ребенок сказал ему: «Агапий, ступай к нам на корабль, и перевезем тебя, куда ты хочешь». Агапий перебрался к ним на корабль и, посидев немного, от дороги и усталости задремал и уснул. А когда уснул, отрок велел мужам взять его и перенести через море. И там его положили и ушли все от него.

Когда Агапий проснулся, он не увидел ни корабля, ни отрока. И, встав, пришел он оттуда в совсем незнакомое место. И увидел Агапий там различные деревья и цветы разные цветущие, и разнообразные плоды, каких никто никогда не видел. На деревьях тех сидели птицы в разнообразных опереньях. Перья у одних были подобны золоту, у других — багряные, у третьих — красные, у иных — синие и зеленые, и все они различными красотами и пестротами украшены. А еще другие птицы белые, как снег. И голоса у всех птиц разные, и они щебетали, сидя друг перед другом, и пели разные песни, одни — громким голосом, другие — тихим, а третьи — тонким, иные — нежным, ибо каждая птица пела согласно и в лад; песни же их и все великолепие такое было, какого никто не слышивал и не видывал на этом свете. Агапий послушал птиц, и напился плодов, и поспал от усталости. И сказал он себе: «Для того и привел меня сюда Господь Бог мой, чтобы найти мне здесь подходящее место, где насадить сад, и я не уйду отсюда; здесь я и жизнь свою окончу». И так ходил он в поисках места, где бы ему насадить сад свой, и увидел

дорогу под плодовым деревом, и сел у дороги, и сказал: «По этому пути должен прийти человек, который скажет мне, что это за места». Посидел он немного и увидел двенадцать человек в белых одеждах, идущих к нему по дороге. Возрадовался он радостью великой. И когда те приблизились к нему, он узрел Иисуса в великой славе. Агапий встал и подошел к нему. Когда он хотел поклониться им со словами: «Добрый путь вам!», великий муж сказал: «Здоров ли ты, Агапий, и куда лежит путь твой?» И ответил Агапий: «Путь мой — Господь Бог». И, немного постояв, Агапий увидел вокруг себя много и лиц человеческих, и птиц пернатых, и услышал пение и славу великую. И поклонился он Христу, упав перед ним, и сказал: «Господи, кто же ты и эти двенадцать мужей? И почему вижу я вокруг тебя много человеческих лиц, и птиц пернатых, и славу великую, и что это за места, где я нахожусь?» Сказал же великий муж: «О Агапий, почему ты дерзаешь выспрашивать у меня? — но, однако, скажу тебе все, чтобы не вводить тебя в заблуждение: я — голос, говоривший тебе в монастыре: “Иди путем моим”, я — орел, который тенью своей указывал тебе дорогу, я — ребенок малый, что перевез тебя через море. Я есмь Господь Бог, Творец неба и земли и всея видимыя и невидимыя. Эти двенадцать мужей — апостолы. Эти лица, что видишь вокруг, — херувимы и серафимы. Слава же, которую видишь, воссылаема сидящему на седьмом небе. Места же эти — райские. Плоды эти — пища апостолов и душ праведных. Птицы, которых слышишь ты, — птицы небесные. Слава же их и пение на небеса воссылается сидящему на престоле херувимском». Сказал Агапий: «Господи, помилуй меня и не дай мне выйти из этого сада, да окончу здесь жизнь свою». Господь же сказал ему: «Не для того я привел тебя сюда, но если сказал: “Оставили мы все и пошли за тобой, и что нас ожидает”, — то так, иди и увидишь Славу Божию». И ответил Агапий: «Господи, куда велишь мне идти?» И сказал Господь: «Иди той дорогой, по которой мы пришли к тебе, и придешь к стенам высотой от земли до небес. Там найдешь маленькую тропку, и иди по ней. Увидишь крохотное оконце в стене. Постучи в него, и выйдет к тебе старик, который впустит внутрь, и там тебе все расскажет. И когда ты выйдешь и пойдешь снова по тропинке и дойдешь до залива морского, где увидишь небольшой корабль в море и двенадцать мужей в нем, и ты взойди к ним, и вы приплывете в город, куда им надо. И когда жители выйдут навстречу вам, среди них будет бедно одетая и простоволосая женщина, и что она ни повелит, сделай для нее». Поклонившись, Агапий отправился по дороге, которую показал ему Господь. Пройдя большое расстояние, нашел стену высотой до неба. И, подойдя, увидел тропинку, и, пройдя по тропинке, увидел оконце в стене, и, постучавшись, стал звать. И вышел к нему человек и сказал: «Каков путь твой?» Агапий же ответил: «Бог — это мой путь». И сказал ему тот: «Человек во плоти сюда еще не приходил до тебя и не придет после». Агапий поведал ему все, что велел ему Господь. И как был уведен из монастыря, и как орел указывал ему дорогу тенью, и как был перевезен через море, и как явились ему Господь и двенадцать апостолов в славе великой. «Оттуда и послал Он меня сюда, и сказал: “Иди этим путем, и найдешь высокую ограду, ищи тропинку, и, идя по ней, найдешь оконце маленькое в стене. Постучавшись, позови, и выйдет к тебе старик, который введет тебя внутрь и скажет тебе все”». Старец ответил: «Да будет воля Господня» и, взяв Агапия за руку, провел за стену. Когда Агапий вошел внутрь, он увидел сияние в семь раз светлее сего света, так что глазам невозможно было смотреть на него. И Агапий пал ниц на землю.

«Взяв за руку, старец привел меня к кресту, что возвышается до небес и сверкает ярче солнца. И поклонились перед крестом, и сотворили молитву». И так Агапий начал терпеть сияние. И привел его старец к месту, где стояла скамья и стол Господень, украшенный драгоценными камнями. На столе лежал хлеб белее снега, а у скамьи был источник белее молока и слаще меду. И лежали ягоды разными

гроздьями: те багряные, те красные, те белые, и были там разные плоды и цветы, в жизни никем не виданные. И сказал Агапий старцу: «Господи, скажи мне, что все это, что я вижу?» И он ответил ему: «О брат мой Агапий, почему ты говоришь мне “Господи”, ведь евреи не назвали Бога нашего Богом, но сказали: “льстец он и злодей”. И, схватив, убили его и распяли на кресте, — а ты говоришь мне “Господи”, тому, кто умрет и смешается с землею; но, однако, назовусь тебе, чтоб ты не обманывался. Я — Илия Тезвитянин, которого огненные кони в колеснице вознесли на небо, и Господь благословил меня на небесах. И сошел Он ко мне, и оставил меня здесь, и вот я живу тут до второго пришествия Господня. Все, что видишь ты здесь, — это души человеческие явились тебе в виде плодов, так как живой человек не может увидеть душ человеческих. Этот источник называется “Раем” и вытекает от райских деревьев, свет этот — свет ангелов и праведных душ. Эти скамья и стол — творение рук Господних. Хлеб — это хлеб небесный праведных душ, и из этого источника пьют ангелы и праведники». — «Я видел и другие яства, их вкус невозможно передать словами, нет им толкования на этом свете. О их сладости и запахе человеческие уста не могут поведать. А простая еда здесь — как молоко и мед. Он дал мне испить из источника. И ум мой просветлел, и, взяв за руку, он подвел меня к столу. Я увидел, что хлеб цел, словно от него ничего не отломлено. А Илия рассказал мне все, но это не следует говорить никому, потом он снова привел меня к кресту и сотворил молитву вместе со мной. Он вывел меня через отверстие в стене, и мы поклонились друг другу и поцеловались. А Илия сказал мне: “Мир тебе, Агапий, иди путем Божиим, и Господь Бог с тобою”. И я, поклонившись ему, пошел по дороге, которую указал мне Илия. Идя так много дней, я пришел к морю, окинул море взором и увидел корабль, плывущий мне навстречу, а в нем двенадцать мужей. И когда они приблизились ко мне, я сказал им: “Добрый путь вам!” Они ответили: “Да внемлет тебе Бог твой, добрый старец”. Агапий попросил их: «Возьмите меня с собою на корабль, и я поплыву с вами в тот город, куда вы направляетесь». Они ответили ему: «Уже третье лето мы блуждаем по морю и не знаем, куда плыть. Братия же наша вымерла от голода и холода и от морских бурь. Мы же пока живы, но уже много дней ни хлебом, ни водой не насыщались и не сегодня-завтра умрем. Если же возьмем тебя с собою, то и ты с нами умрешь, а нам больший грех причинишь». Но Агапий попросил их: «Возьмите меня с собою; Господь Бог печется о жизнях наших».

И сказали ему корабельщики: «Входи, раб Божий, к нам, если есть у тебя еда с собою, то хоть ты будешь спасен». Агапий взошел к ним и увидел, как сильно они истощены, и он помолился о них, жалея их. Агапий взял с собой в корабль ломоть хлеба, который дал ему в раю Илия, разломил его на четыре части и, воздав хвалу Богу, раздал их двенадцати мужам. Они съели хлеб и насытились, а четвертая часть, которую Агапий оставил, снова стала целым хлебом, словно от него никто не отламывал ни куска. Корабельщики увидели Славу Божию и воскликнули, обратясь к Агапию: «Раб Божий, помилуй нас, не уходи, с помощью этого ломтя хлеба мы будем плавать по волнам морским». Агапий сказал: «Да будет воля Господня». И велел корабельщикам: «Поставьте паруса». Они поставили. И задул ветер по воле Божией, и через один только час пригнал их в свой город, из которого уплыли они в океан и не знали, куда идти. Когда они пристали к городу, навстречу им вышли его жители, восклицая: «Выходите все, так как пришли те, чьих голосов не слышали мы уже три года», и, подойдя, они приветствовали их. А корабельщики сказали горожанам: «Вы могли еще дольше не слышать голоса нашего, если бы не послал нам Бог своего раба, благодаря которому мы приплыли в город». И горожане прославили Бога, и из стен городских вышла простоволосая, бедно одетая женщина. Подойдя, поклонилась Агапию и с плачем сказала ему: «Раб Божий, Агапий,

помилуй меня». Агапий спросил ее: «С чем ты идешь ко мне?» Женщина возопила перед всем народом: «Пойдем, раб Божий, так как сын мой пятнадцатый день лежит мертв, ибо Господь не дал мне его похоронить, сказав: “Подожди три дня, пока не придет корабль и в нем двенадцать мужей, а с ними монах, имя его Агапий; взяв его, приведи к себе, чтобы он воскресил твоего сына”». Агапий вспомнил, что говорил ему Иисус. И, поднявшись, отправился следом за женщиной, которая повела его, а за ними двенадцать корабельщиков и все горожане. Агапий вошел в дом, где на кровати лежал ее сын, и сотворив молитву, он взял хлебный ломоть, который дал ему Илия, и положил на лицо умершего. И отрок сел на постели. Агапий, взяв его за руку, подвел к матери. Мать его прославила Бога, и все горожане сказали Агапию: «Раб Божий, не покидай нас, ведь есть у нас обычай, если кто умрет, погребать того. А у тебя есть обычай оживлять снова того, кто умрет». И они не дали Агапию выйти из города. Корабельщики не хотели расставаться с ним, говоря: «И мы пойдем с тобой и по сушу, и по воде, куда ты захочешь пойти». Агапий пробыл в городе семь дней. Однажды ночью к нему явился ангел Господень и вывел его из города, и сказал ему: «Иди вдоль моря, пока не увидишь место, тебе уготованное, где сядешь и напишешь, какие видения показал тебе Господь и в каких Господних местах ты пребывал». Сказав это, ангел Господень отлетел от него. Агапий шел вдоль моря много дней и увидел высокие стены и дверцу в них. И вошел в нее по ступенькам. И увидел он приготовленный дом, а в нем кровать и постель на кровати. Войдя в дом, он помолился и, сев, написал повесть сию. А когда окончил, волей Божией пригнало к нему ветром корабль. Агапий вышел и отдал это сказание корабельщикам со словами: «Отвезите его патриарху в Иерусалиме, чтобы он раздал во все церкви и чтобы все читали». Блаженный Агапий пробыл в том доме сорок лет и окончил жизнь свою с ломтем хлеба, который дал ему Илия. Он испустил дух, славя Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

## СКАЗАНИЕ ЕЛЬФЕРИЯ О ДВЕНАДЦАТИ ПЯТНИЦАХ

### **О произведении:**

*«Сказание о двенадцати пятницах» — апокриф, возникший, по-видимому, в начале христианской эпохи, когда споры «о правой вере» с иудеями были еще животрепещущими. На русскую почву текст попал в переводе с греческого языка, скорее всего, через южнославянское посредство. Одним из наиболее ранних славянских списков (если не самым ранним) считается сербский по происхождению список, опубликованный по рукописи Белградской библиотеки № 200 в 1872 г. Ст. Новаковичем (Starine, кн. IV, Загреб), который датировал его началом XIV в. Известны также списки XV—XIX вв. под разными названиями: «Слово о сказании...», «Обретение...».*

*Специального текстологического исследования этого апокрифа не проводилось (история изучения его в XIX в. изложена С. Шевченко в «Записках Университета св. Владимира в Киеве», кн. 2, Киев, 1908), однако можно говорить по крайней мере о двух разных редакциях «Сказания о двенадцати пятницах» в славяно-русской рукописной традиции, что было отмечено еще А. Н. Веселовским в его «Опытах по истории развития христианской легенды. IV. Сказание о 12 пятницах» // ЖМНП, № 6, 1876. Ученый выделил так называемую «Элевтериеву» редакцию (по имени христианского богослова, который вступает в конфессиональный спор с иудейским философом Тарасием) и «Климентову» редакцию (по упоминанию в тексте и приписыванию его Клименту, папе Римскому), которая, в свою очередь, распадается на варианты А и Б. «Элевтериева» редакция известна лишь в славяно-русских списках, тогда как «Климентова» — в славянских и западноевропейских.*

Текст «Сказания о двенадцати пятницах» пережил сложную литературную историю, о чем свидетельствует наличие смысловых лагун, неясных фраз, «темных» мест как в публикуемом списке, так и в других. Эта «затемненность» текста осложняет его перевод и комментирование. Ряд древнерусских списков «Сказания» относится к XV—XVI вв., и они представляют, в основном, «Элевтериеву» редакцию с разной полнотой. Так, в некоторых из них подробно излагается спор между иудейским и христианским философами в форме вопросов-загадок и ответов-разгадок, которые являются христианскими толкованиями ветхозаветных событий. В других списках этот спор пересказан кратко. Различаются списки и композицией отдельных фрагментов текста, и последовательностью рассказа о двенадцати пятницах. Этот рассказ, переданный христианину Ельферию сыном иудея Малхом, таким образом нарушившим древнюю клятву и убитым за это собственным отцом, представляет собой отдельный сюжет внутри всего повествования, хотя и связанный с ним по смыслу. Рассказ о двенадцати пятничных днях часто переписывался как самостоятельное произведение, особенно в XVII—XIX вв. На его основе, по-видимому, возник духовный стих о 12 пятницах, известный в разных вариантах.

Известно, что пятница как день крестных мучений Иисуса Христа почиталась с первых веков христианства. Об этом в «Житии Константина Великого» упоминал Евсевий Кесарийский, христианский церковный историк середины IV в. Позднее такими почитаемыми днями для православных христиан стали среда и понедельник. В византийском «Слове о видении отца Пахомия о среде и пятке», известном и в славяно-русском переводе, среда и пятница в образе двух ангелов провожают в рай человека, строго соблюдавшего пост в эти дни. Один из списков этого «Слова» помещен вслед за текстом «Сказания о двенадцати пятницах» в сборнике XV в. Это свидетельствует о том, что переписчик воспринимал оба сочинения как некое тематическое целое, что вопросы, затронутые в раннехристианском апокрифе, оставались на Руси актуальными.

Народно-христианская традиция почитала пятничные дни не только как дни строгого поста, но как связанные с культом святой мученицы Параскевы (это имя по-гречески и означает «Пятница»). По свидетельству этнографических материалов, святая Параскева-Пятница покровительствовала в основном женщинам: в замужестве, чадородии, домашнем хозяйстве, особенно в прядильном и ткацком деле, которыми нельзя было заниматься в пятницу. «Соблюдать» пятницу предписывалось некоторыми народными обычаями. Этим, по-видимому, объясняется популярность рассказа об особо почитаемых двенадцати пятницах, выделенных из апокрифического «Сказания» в отдельный сюжет. В нем (как можно судить по ряду поздних списков) соблюдение поста в пятничные дни имеет не только душеполезное значение, но и оберегает человека от разных бед: от внезапного зла, от напрасной смерти, от неприятеля, от утопления, от лихорадки и т. д. В «Сказании о двенадцати пятницах» отразились представления народного христианства.

«Сказание» публикуется по списку РНБ, собр. Софийское, № 1264, XV в. (Этот список был издан Н. С. Тихонравовым в «Памятниках отреченной русской литературы», т. 2, М., 1863. С. 323—327). Для исправления явных ошибок писца и следов порчи текста привлекались другие списки «Сказания»: сербский, изд. Ст. Новаковичем, нач. XIV в.; ГИМ, собр. Синод. № 830, XVI в., изданный Н. С. Тихонравовым в «Памятниках...»; сербский список Григоровича, XV в., изданный там же; список Стокгольмской Королевской библиотеки А 797, XVI в., не опубликован, любезно предоставлен проф. Элизабет Лёфстрэнд.<sup>30</sup>

---

30 Перевод и комментарии М. В. Рождественской // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 3. - <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4932>

В западной стороне есть земля Лавра, а в ней — большой город, называемый Шептаил, и в нем жило множество иудеев. И была у них распря с христианами, иногда на рынке, иногда на улицах, иногда же в городских воротах. И побивали они друг друга при Корионе царе. И вот собрались иудеи и сказали христианам: «До каких пор спорить нам и детям нашим? Выберите своего мужа, мудрого философа, а мы своего другого философа, (разбирающегося) в словах Божиих, а мы их послушаем. Если переспорит ваш философ, то мы все крестимся. А если кто из нас не захочет креститься, то будет ему от вас большая беда. Если же наш философ вашего переспорит, то вы обратитесь в нашу веру». И говорили они это, надеясь на своего мудрого философа. И понравилась христианам их речь.

Выбрали они себе мужа богобоязненного, по имени Ельфериий, иудеи же своего философа, по имени Тарасий. Начали они спорить, сходясь в одном храме, и, при том что спорили по многу часов, никогда не оставались без народа. Иудей же взял с собой своего сына. Тогда вступили они в серьезную беседу. О Владыко, всевидец, помоги Ельферию переспорить иудея! Иудей же рассердился, преисполнился яростью и гневом и с гневным сердцем, с ярым оком сказал христианину: «Знаю, ты меня уже переспорил, ваша вера правильная, а наша неправильная. Также и на горе Синайской Моисею явилось видение, а вам истина открылась (через) Деву Марию о Том, о Ком пророки наши пророчествовали и апостолы (ваши) перстом указывали, Кто пребывал с ними, приняв образ раба».

И когда сказал это иудей, спросил он христианина: «Вижу, что ты мудрый муж. Не знаешь ли о двенадцати пятницах, что на пользу вашим душам?» И спросив это, вышел вон, от горести не в силах стоять. Но остался сын его, имя которому Малх. И спросил его христианин: «Знаешь ли ты о двенадцати пятницах, и что говорил твой отец?» Тот сказал: «Знаю, что деда наши схватили некоего христианина, из (числа) ваших апостолов, у него отняли свиток, на котором было написано о двенадцати пятницах. А самого его умертвили злою смертью. А свиток, прочитав, предали огню. И до сих пор между нами существует клятва, чтобы было это неизвестно христианам. Я знаю, что хороша ваша вера, и жаждет ее моя душа». И начал излагать ему Малх все от начала и до конца.

Входит иудей к христианину, и сказал ему: «Смущен ли ты (вопросом) о двенадцати пятницах?» Тот же открыл перед ним уста свои и поведал ему все. И сказал ему иудей: «Как же мне ведомо, (что) неизвестно это христианам; рассказал тебе (об этом) сын мой». Вынул нож и заколол сына своего, и сам зарезал себя.

Я же, братья, узнав о том от иудея, не утаил в себе, но написал для всех христиан.

Первая пятница — в 6-й день марта, в которую Адам нарушил заповедь Божью и был изгнан из рая. Вторая пятница — перед праздником Благовещения, в которую Каин из зависти убил Авеля, брата своего, это был первый покойник на земле. Третья пятница — Страстная, в которую в 9 час дня предал себя на распятие Христос, Бог наш, по обетованию, чтобы спасти заблудших. Четвертая пятница — перед праздником Вознесения Господня, в которую затоплены были в 1 день Содом и Гоморра и другие три города. Пятая пятница — перед днем Сошествия Святого Духа, в которую агаряне захватили в плен многие земли и изгнали (жителей) их на остров Крит, и ели они верблюжье мясо, пили козью кровь, и там на острове расплодились. Шестая пятница перед мясопустом, в которую был захвачен во 2-й час Иерусалим халдеями во времена Иеремии пророка, и великое пленение; тогда стоял Иерусалим (пуст) 73 года. Тогда иерусалимляне сидели на реке вавилонской и плакали, развесив свои органы. Тогда попросили пленившие их: «Спойте нам сионские песни сынов израилевых». Они же сказали: «Не будем мы песни петь (сейчас) и потом, пока не поселимся на земле своей». И поэтому латиняне поют

«аллилуйя», а не «Слава Отцу и Сыну» за воскресенье до нашего мясопуста, и до Великой Субботы, и тех дней 70 и 3. Еще же бывает пятница во 2-ю (неделю) июля, тоже переменная. Седьмая пятница — перед Петровым днем, в которую Господь руками Моисея и Аарона послал на землю египтян десять казней, превратил их реки в кровь в 5-й час дня. Восьмая пятница — перед праздником Успения святой Богородицы, в которую появились над морем крылатые измаильтяне и захватили в плен множество народов и стран, владели (ими) до (границ) Великого Рима и западной страны 70 и 3 года, рассеялись они по лицу всей земли по повелению Божию. Девятая пятница — перед днем Усекновения главы Иоанна Предтечи, в которую убил Ирод Предтечу в 10-й час дня. Десятая пятница — после праздника Воздвиженья честного креста, в которую Моисей разделил жезлом море и провел (по нему) израильтян, а врагов его море покрыло в 1 час дня, тоже переменная (пятница). Одиннадцатая пятница — перед днем апостола Андрея, которая ознаменована крестом пророка Иеремии, взятым ангелом из врат и поставленным между двумя столпами горными в 9 час дня, и его покрывает огненное облако до второго пришествия. Двенадцатая пятница — после Рождества Христова, в которую царь Ирод избил младенцев, тоже переменная.

Эти же двенадцать пятниц вот так подобает соблюдать: постом, и молитвой, и пением, единожды в день вкушать хлеб и воду. Сколько возможно, творить милостыню, воздерживаться от плотской похоти. Зачатое (дитя) будет нездорово: или слепым, или хромым, или как-либо еще. Сохраняйте себя в чистоте, и Господь сохранит вас в царствии своем. Сколь возможно, братья, не только грехи наши будут прощены, но получим и царство небесное от Христа Иисуса.

## **Велесова книга**

### **О произведении:**

#### *Десять строгих доказательств подлинности «Книги Велеса».*

*(согласно выводам палеографа, доктора филологических наук Л.П. Жуковской, в комментариях А.И. Асова.)*

#### *Доказательства подлинности Книги Велеса*

#### *I. Открытые палеографические доказательства подлинности «дощечек» от Л.П. Жуковской:*

- 1) Графика «дощечки», в ряде черт приближается к другим древним алфавитам.*
- 2) Буква Щ размещена в строке, что присуще наиболее древним почеркам кириллицы.*
- 3) Древними являются симметричное Ж и буква М с овалом, провисающим до середины высоты буквы, что сближает её с соответствующей буквой в надписи царя Самуила 993 г.*
- 4) За древность говорит «подвешенное» письмо.*
- 5) В тексте хорошо выдержана сигнальная линия, проходящая у всех знаков по середине их высоты, что является свидетельством в пользу наибольшей возможной древности кириллического памятника.*

#### *II. Скрытые лингвистические доказательства подлинности «дощечек» от Л.П. Жуковской:*

- б) Замена О и Ъ и (особенно при передаче звука ы), известная только в текстах «Книги Велеса» и берестяных грамотах. Причем в берестяных грамотах она отмечена после публикации текстов «Книги Велеса».*

7) Разная сохранность редуцированных, регулярные замены э — ё, ѡ — оу, э — я, ѣ — ъ в сербских, болгарских и русских рукописях, отмечаемая также и в дощечках «Книги Велеса». Причем то, что это было присуще древнейшим новгородским берестяным грамотам (из за особенностей новгородского говора) стало известно после публикации «Книги Велеса».

8) Написание я вместо э и написание ё на месте этимологического э (а также ѡ) в «дощечках» и ранних новгородских грамотах.

9) Смешение на письме букв ч и ц как в текстах «Книги Велеса», так и в новгородских берестяных грамотах, указывающее на «цокание» новгородцев того времени, подтверждённое только после находок древнейших берестяных грамот.

III. Скрытое источниковедческое доказательство подлинности «дощечек» от Л.П. Жуковской:

10) Памятник был известен с начала XIX века. Он находился в архиве антиквара А.И. Сулакадзева, и в его каталоге был отмечен его автор: «Ягила Ган», живший в Ладоге IX века.

Критики «Книги Велеса», такие как О.В. Творогов и Ко, по сию пору ссылаются на анализ Л.П. Жуковской текста десяти строчек одной дощечки II 16, сделанной ею в 1960 году (впоследствии она делала только краткие замечания по этому вопросу). И в самом деле, это единственная статья квалифицированного палеографа со стороны Академии Наук нашей страны. И обращение к этой статье и сейчас имеет смысл.

Много лет прошло? Да, 45 лет срок немалый. Но с тех пор наша Академия Наук по сути не обращалась к палеографическому анализу этого объёмного, многосложного памятника. Не считать же таковым политико-источниковедческие статьи О.В. Творогова? Его палеографические замечания настолько дилетантские, что не стоят здесь разбора (он сделан в комментариях к изданию памятника 1994 года). Других же сопоставимых с палеографическим анализом Жуковской 1960-го года по сию пору не было.

*Почему наша наука столь медлительна? Ответ на это можно найти у той же Лидии Петровны в её книге «Текстология и язык древнейших славянских памятников» (Москва, 1976): «Вспомним ошибочный прогноз А.С. Пушкина, отмечавшего, что «теперь у нас дороги плохи», но «со временем (по расчисленью философических таблиц, лет чрез пятьсот) дороги верно, у нас изменятся безмерно» (Евгений Онегин, гл. 7). Будем надеяться, что в нашем случае 500 лет не понадобится, что текстологический анализ сохранившихся рукописей впоследствии будет проведен на максимуме списков каждой летописи в обозримое время, а тем самым лингвисты получают возможность для доброкачественных выводов по истории языка в разных ее аспектах...»*

*Очевидно, это правда. При нынешних темпах работы нашей академии и 500 лет может не хватить для работы с дощечками «Книги Велеса». Ведь за последние 50 лет дело не сдвинулось с анализа 10 строк из памятника, а это менее 1% текстов.*

*Итак, первая статья кандидата (а впоследствии доктора) филологических наук Л.П. Жуковской, опубликована была впервые в журнале «Вопросы языкознания» № 2, 1960. Называлась она «Поддельная докириллическая рукопись», но не смотря на вид «опровержения подлинности» имевшейся тогда в ее распоряжении одной стороны дощечки П 16 из «Книги Велеса», эта статья на деле содержала строгое палеографическое и лингвистическое доказательства подлинности памятника. И убеждён, что это означает только одно: Л.П. Жуковская пришла к выводу о подлинности манускрипта, но её вынудили статью переделать по соображениям политическим (документ пришёл от белоэмигрантов).*

*К такому же выводу независимо от меня пришёл и доктор филологических наук, переводчик «Книги Велеса» из Украины, Борис Яценко.*

*И это становится особенно наглядно видно, если поставить рядом работы Л.П. Жуковской, касающиеся берестяных грамот (из её книги «Новгородские берестяные грамоты, М., 1959), и работы о дощечках «Книги Велеса», что мы и сделаем.*

*Начиналась статья Л. П. Жуковской с редакционного вступления:*

*Как сообщает в своей книге «История руссов в неизвращенном виде» (вып. 6, Париж, 1957) Сергей Лесной (С. Парамонов), в 1919 г А. Изенбек вывез из какого-то имения Орловской или Курской губ. деревянные дощечки с текстом, по всей видимости, славянским, получившие позднее название «Влесовой книги». После смерти А. Изенбека (1941 г.) дощечки были утеряны. Сохранилось лишь несколько фотографий и переписанный, вернее, транслитерированный текст «Влесовой книги», выполненный Ю. П. Миролубовым. Этот текст в настоящее время издается в журнале «Жар-птица» (Сан-Франциско).*

*В своих статьях «Влесова книга» — летопись языческих жрецов IX в., новый, неисследованный исторический источник» и «Были ли древние «руссы» идолопоклонниками и приносили ли они человеческие жертвы», присланных в адрес Славянского комитета СССР из Австралии (г. Канберра) С. Лесной призывает специалистов признать важность изучения «дощечек Изенбека», в которых он видит подлинную древнерусскую рукопись IX в., не предлагая, впрочем, необходимого для обоснования подобного мнения палеографического и лингвистического анализа текста.*

*Публикуем в разделе «Письма в редакцию» ответ Л.П. Жуковской на просьбу редакции высказать свое мнение относительно опубликованной С. Лесным («История «руссов»...», вып. 6) фотографии одной из «дощечек Изенбека», содержащей начало «Влесовой книги».*

*Знаменательно само по себе, что в этом редакционном «врезе» в названии статьи Лесного слово «руссы» поставлено в кавычки, чего в оригинале, конечно, не было. Эмигранты еще не додумались до введения в правила орфографии указания: ставить в кавычки самоназвание русского народа и при этом оставлять в качестве орфографически правильного написания лишь прилагательное «русские». Очевидно, что редакцию данного журнала тогда и представляли «русские», но только в этих самых кавычках.*

*Критика же работ С. Лесного, который якобы не предложил «необходимого обоснования», смешна. Что считать «необходимым»? Всесторонний лингвистический анализ он не проводил, не успел. Но, конечно, об этом можно писать и монографии, и в свое время таковые, конечно, будут написаны. Кого-то ещё ждёт сей научный подвиг.*

*Однако, перейдём к статье Жуковской.*

*Л.П. Жуковская:*

*Фотография, опубликованная С. Лесным, не является снимком с доски. В ней на расстоянии 2—2,5 см, 6,5 см, 10,5—11 см, 15,5 см от левого края прослеживаются тени, образовавшиеся, по-видимому, от сгибов материала, с которого производилось фотографирование. С доской этого произойти не могло.*

*В правой половине снимка начертания многих букв расплылись, следовательно, фотографировался не твердый материал с начертаниями, выполненными посредством прорезывания и выщербления его, а письмо, расположенное в одной плоскости, нанесенное красящим веществом.*

*Все это говорит о том, что фотографировалась не сама «дощечка», а бумажная копия с нее (т.е. «копия с подлинной дощечки», на бытие коей прямо указывает Л.П. Жуковская — А.А.) или прорись. Есть основания полагать, что при изготовлении снимка была произведена ретушевка. Все это совершенно недопустимо при научном воспроизведении текста.*

*В целом замечания справедливы (С. Лесной, к примеру, писал о том же и теми же словами). Однако, такое небрежное документирование «дощечек» можно было бы назвать «недопустимым» только в том случае, если б эти слова относились к работе института, а не Ю.П. Миролюбова, бедствующего эмигранта, который и не предполагал, что его снимок будет иметь впоследствии такое значение.*

*Далее: всё, что сказано выше, может относиться именно к снимку с дощечки. Появление теней, расплывчатый текст, пятна объясняются ретушевкой снимка плохого качества, тем, что он был помят и т.д., ведь он пролежал в архиве Ю.П. Миролюбова с 1928 года до публикации в феврале 1955 (и публикаторы это не скрывали). И, замечу, такой вид копии безусловно подтверждает ее подлинность. Поддельщик, уж поверьте, нашел бы полчаса, чтобы вырезать шилом текст в десять строк на какой-нибудь доске, а потом сделал бы «безупречный» снимок. Что значит эта «работа» по сравнению с созданием текста «Книги Велеса», за которым стоит тысячелетняя культура?*

*Нет, мы имеем дело именно с копией Ю.П. Миролюбова, для коего был интересен (и то относительно) лишь текст, и по этой причине он сэкономил на качестве снимка. И, кстати, в 2003 году в Госархив РФ поступили все снимки и негативы Ю.П. Миролюбова из Музея Русской культуры в Сан-Франциско. И они однозначно показывают, что снимки делались именно с досок, а не с прорисей. В издания же попали ретушёвки.*

*Однако, замечательны сами слова Л.П. Жуковской, которая здесь (в самом начале статьи) признает, что были и дощечки. По её предположению с них потом была снята бумажная копия, а уж с нее была сделана фотография (непонятно, правда, кем: если С. Лесным, то удивляться нечему, он явно снимал с «бумажной копии», т.е. с публикации в журнале «Жар-птица»).*

*Но пусть даже так. Главное: Л.П. Жуковская прямо говорит, что дощечки были! А то, что написано далее в этой статье, суть также подтверждает ее первоначальную мысль, нужно только правильно понять её.*

*Для сего, конечно, нужно иметь филологическое образование, и я надеюсь, что среди читателей этой статьи найдутся и специалисты-филологи. Впрочем, многое будет понятно и неспециалистам, особенно если они предварительно прочитают пособия по старославянскому языку (например, учебник Г.А. Хабургаева «Старославянский язык»).*

*Л.П. Жуковская:*

*Графика. Текст, изображенный на фотографии, написан алфавитом, близким к кириллице: помимо букв кириллицы, совпадающих с буквами греческого устава IX в., в графике «дощечки» имеются свойственные кириллице буквы б, ж, з, ш, щ, Ъ, я. В отличие от кириллицы в графике «дощечки» отсутствуют буквы, обозначающие носовые гласные, — а, ѡ, ѣ, ѥ, ѧ, Ѩ, ѩ, Ѫ, ѫ, Ѭ, ѭ, Ѯ, ѯ, Ѱ, ѱ, Ѳ, ѳ, Ѵ, ѵ, а также имеются следующие особенности: буква ч отсутствует, ее заменяет буква щ, вследствие этого буква щ в «дощечке» соответствует двум кириллическим буквам — щ и ч1; отсутствует буква ю, ее, видимо, заменяет сочетание ј десятеричного с буквой у; отсутствует кириллическое н, звук н передается буквойи, т.е. начертанием с горизонтальной, а не косою перекладиной; при этом звук и передается буквой ј; отсутствуют буквы ъ, ѣ, ѥ2; из них букваѣ, являющейся составной частью кириллической буквы ѣј, в рассматриваемом тексте соответствует буква о с небольшой развилкой вверху3, вследствие чего она несколько напоминает кириллическую лигатуру ѳ; звук у при этом передается чаще буквой у, реже — двубуквенным написанием оу; возможно, что некоторые буквы в виде ѳ (т. е. о с развилкой) обозначают также у4; в тексте представлено два графических варианта для передачи звука с и два — для звука е (оба последние после согласных, а не ј).*

*В графике «дощечки» имеются знаки, которые отсутствуют в кириллице; из них лишь некоторые могут быть возведены к греческим начертаниям. Так, одно из указанных начертаний буквы с не встречается в кириллических почерках и напоминает с или ζ некоторых типов древней греческой письменности. В тексте имеется греческая «дигамма», восходящая к минойской «геме» и встречающаяся также в курсивном маюскуле и римском унциале. Эта буква обозначает, по-видимому, какой-то или какие-то губные звуки, но не п и не м, так как для обозначения последних употреблены соответственно буквы п и м5. На фотографии указанная буква находится в строке I — № 19, 31, в строке IV — № 5, V — № 5, 29, 40, 51, VI — № 32. Начертания указанных знаков не вполне идентичны, поэтому нет полной уверенности, что во всех этих случаях написана одна и та же буква. Видимо, для буквы б имеется графический вариант, представляющий как бы соединение буквы г нормального размера с наложенной на нее в нижней части небольшой буквой в; при этом совмещены мачты обеих букв. Этот знак имеется в строке I — № 40, II — № 13, 23, VI — № 18, VII — № 17. Буква а пишется, как в латинском курсивном маюскуле, и напоминает начертание современной греческой λ; буква я сохраняет эту особенность начертания. Своеобразна буква т: ее перекладина чаще перечеркивает мачту, а не размещается поверх нее. Имеются знаки, не поддающиеся интерпретации: таковы, например, № 10 в строке V и № 8 в строке IX, которые представляют вертикальную черточку, не достигающую до нижнего уровня букв текстаб, а также совершенно своеобразный знак № 42 в строке II7.*

*Таким образом, графика «дощечки», имея некоторые особенности кириллицы, не столь совершенна при передаче звуков славянской речи и в ряде черт приближается к другим древним алфавитам.*

*Комментарий:*

*И против этого подробнейшего анализа графики дощечки возразить нечего. Такой анализ по существу является убедительным доказательством подлинности дощечки, ибо «придумать» такой шрифт весьма затруднительно.*

*Для того только, чтобы понять все особенности графики сего шрифта, уже нужно быть специалистом не меньшего класса, чем Л.П. Жуковская. А таких в 50-х годах XX века на весь мир было можно пересчитать по пальцам одной руки. Более того, лишь после открытий грамот на бересте стало возможно говорить о написании на бересте и дереве подобных букв у славян, а тексты дощечек были известны задолго до этого.*

*Л.П. Жуковская:*

*Палеография. Как известно, метод палеографического анализа состоит в сопоставлении неизвестного материала с известным, территориально приуроченным и датированным. Поэтому при палеографическом анализе рассматриваемого памятника, который объявляется древнейшим, исследователь не может опираться на твердые данные палеографии, и приметы ранней кириллицы могут представлять лишь косвенное доказательство<sup>8</sup>. Специфичными в этом плане являются буквы р, х, Ъ, расположенные в строке и не выходящие в межстрочные поля. Однако буквы Ъ и р при этом иногда значительно наклонены вправо, выполнены небрежно, как это свойственно новейшим почеркам, имитирующим печатные буквы. Буква щ в некоторых случаях также размещена в строке, что присуще наиболее древним почеркам кириллицы<sup>9</sup>. Древними являются симметричное ж и буква м с овалом, провисающим до середины высоты буквы, что сближает ее с соответствующей буквой в Надписи царя Самуила 993 г. За древность говорит так называемое «подвешенное» письмо, при котором буквы как бы подвешиваются к линии строки, а не размещаются на ней. Для кириллицы эта черта неспецифична, она ведет, скорее, к восточным (индийским) образцам. В тексте сравнительно хорошо выдержана сигнальная линия, проходящая у всех знаков по середине их высоты, что является свидетельством в пользу наибольшей возможной древности кириллического памятника.*

*Следует особо отметить, что начертания буквы д, представленные на фотографии, соответствуют греческим уставным, а не кириллическим образцам, хотя и те и другие близки между собой. Буква щ также больше напоминает некоторые древние начертания ψ, чем щ кириллицы. Своеобразно начертание ш с сильно заниженными и разведенными от центра крайними мачтами, что также позволяет сближать его с греческим ψ, а не только с кириллическим ш.*

Таким образом, данные палеографии хотя и вызывают сомнения<sup>10</sup> в подлинности рассматриваемого памятника, в то же время и не свидетельствуют прямо о подделке. Но при этом необходимо учитывать, что без сопоставимого материала палеография бессильна<sup>11</sup>. Да и сама фотография сомнительна, так как является снимком не с оригинала (хотя бы и поддельного), а с прописи или с копии, в результате чего начертания огрублялись и изменялись в лучшем случае дважды (при изготовлении прописи или бумажной копии и при фотографировании, в процессе которого была допущена ретушовка). Поэтому окончательные данные могут быть получены только в результате лингвистического анализа, для которого исследователь имеет твердые факты.

Комментарий:

*Это и есть строгое, последовательное палеографическое доказательство подлинности.*

Какого класса должен быть (фантастичный, конечно) поддельщик, чтобы во-первых: выдержать сигнальную линию, как в древнейших кириллических надписях, а буквы написать как в древнейшей датированной надписи царя Самуила, например, не говоря уж об ином.

И, кстати, надпись царя Самуила была открыта только в 1894 году (см. об этом книгу Г.А. Хабургаева «Старославянский язык», М., 1986, с. 39). Таким образом, одно только это особое начертание буквы М уже отвергает в качестве «предполагаемого автора» памятника А.И. Сулакадзева, умершего в 1831!

Да и для «создания» после 1894 года «дощечек Изенбека» нужно было быть, как минимум, высоко квалифицированным палеографом. Да и обо всем этом вообще стало известно не только узким специалистам лишь к середине XX века, и чуть ли не впервые о многом было заявлено именно в этой работе Л.П. Жуковской!

Единственно, что следует заметить: по меньшей мере странным выглядит на этом фоне полное молчание Л.П. Жуковской о берестяных грамотах, о коих она выпустила книгу за год до этой статьи. Нет сопоставления не только палеографического, но и в дальнейшем лингвистического. Как будто и не было этих находок. И это объясняется, на мой взгляд, только одним: соответствующие фрагменты статьи Л.П. Жуковской были изъяты при её «научном» редактировании. Но и того, что осталось, вполне достаточно.

Все эти замечания суть пункты строгого палеографического доказательства подлинности памятника. Сомнения (скажем, наклоны некоторых букв), на которые она указывает в конце главки, она же сама и разрешает ссылкой на ретушевку и огрубление при делании бумажной копии. И, разумеется, этого нам нельзя исключать.

*Но суть-то в том, что все это — абсолютно строгое и безоговорочное палеографическое доказательство подлинности имевшейся тогда в распоряжении Л.П. Жуковской копии дощечки.*

*Л.П. Жуковская:*

*Орфография и язык. Анализ графики и палеографии показал, что если «дощечка» подлинна, то ее следует датировать периодом до того времени, когда основным алфавитом у славян стала кириллица, т. е. периодом до X в. В этот период предкам всех славянских языков (вопроса о конечной стадии общеславянского языка мы намеренно здесь не касаемся) были свойственны открытые слоги, носовые гласные, особые фонемы ё, ъ, ь и другие черты фонетики и морфологии, позднее исчезнувшие или изменившиеся в отдельных славянских языках. Орфография «дощечки» не позволяет выявить судьбу этимологических редуцированных, так как для нее характерен пропуск букв, обозначавших гласные звуки вообще, а не только редуцированные в том или ином положении (это позволяет сблизить письмо «дощечки» с семитскими системами письма). Лишь написания вѣждѣ - IX строка и дѣ - IX строка с буквой ѣ (т. е. ѣ) на месте этимологического о, если они интерпретированы нами правильно, указывают на близость звуков ѣ и о, что для IX-X вв. нереально.*

*Комментарий:*

*На самом деле, тут лучше сказать «вполне реально», либо даже «более чем реально» (так и было до правки?). И так дело обстоит не только для IX века, а всегда, ибо редуцированный звук ѣ всегда близок к «краткой» о, являясь ее редуцированным, т.е. «сверхкратким» произношением.*

*И что ж тут удивляться, что в «велесовице» для краткого и сверхкраткого произношения одного и того же звука используется одна буква, это вполне закономерно и даже неизбежно для этого этапа развития и становления славянской азбуки.*

*Здесь (как и далее) Л.П. Жуковская на самом деле говорит о том, что для известных кириллических рукописей (книг, пергаментов) такое смешение не характерно. И это абсолютно верно. Но только для книг и пергаментов. А для берестяных грамот не только характерно, но и обычно! И об этом открытии за год до этой статьи писала сама Л.П. Жуковская! На это она здесь и намекает: мол, если не читали мою книгу, то и не поймете — зачем же я её тогда писала?*

*И, кстати, сделано это открытие было опять таки А.В. Арциховским, и впервые опубликовано в его книге о берестяных грамотах, вышедшей в конце 1954 года, посвященной свежим раскопкам в Новгороде. И как тут не заметить, что за год до этого уже начались публикации текстов «Дощечек Изенбека» с этим самым признаком в каждой строке!*

*А в сущности, здесь мы имеем дело с одним из возможных вариантов написания: по всей «Книге Велеса» ѣ обозначает как звук ъ, так и о.*

*В данной дощечке нет буквы Ъ, но в других текстах (в транслитерациях) она есть, во второй имеющейся фотографии есть и буква Ъ.*

*Но в любом случае, взаимная замена букв Ъ и ѣ в транслитерации, а также вероятная близость звуков ъ и о, отмечаемая Л.П. Жуковской, не только «вполне реальны» для древнего новгородского диалекта. Но и, подчеркиваю, являются безусловным и безоговорочным признаком подлинности текстов дощечек «Книги Велеса», ибо этот признак был неизвестен до того, как его выделили в языке берестяных грамот А.В. Арциховский и Л.П. Жуковская, т.е. после публикации текстов «Книги Велеса».*

*В связи с чем мы ей и предоставляем слово. Далее цитируется её книга «Новгородские берестяные грамоты», М., 1959 г. (§ 2. Чтение новгородских берестяных грамот). Нужная часть подчеркнута.*

*Л.П. Жуковская:*

*Анализ письма, языка и текста новгородских берестяных грамот начинается с чтения их, что представляет уже известные трудности и зависит:*

*1) от того или иного прочтения отдельных букв;*

*2) от того или иного деления неразделенного текста на слова; 3) от различного толкования отдельных слов, которое обусловлено, с одной стороны, отсутствием больших контекстов, помогающих определить общий смысл каждой грамоты, а с другой — особенностями новгородского диалекта того времени, вследствие которых отдельные буквы могли взаимно заменять друг друга (о — ъ; ё — ь — ѣ — и; ц — ч).*

*Прежде всего необходимо установить правильное чтение отдельных букв. Как показывает история изучения берестяных грамот, в ряде случаев установление самих букв, имеющих в них, бывает затруднительным.*

*Комментарий:*

*Итак, первый пункт лингвистического доказательства подлинности «Книги Велеса», отмеченный Л.П. Жуковской. Он состоит в том, что только в языке дощечек и только в новгородских берестяных грамотах (открытых и изученных после нахождения и опубликования дощечек Изенбека) есть общий признак, который невозможно было «смоделировать», а именно: взаимная замена в текстах букв О и Ъ.*

*Нельзя не заметить также, что замена О и Ъ конкретно при передаче звука ы, на которую обратила Л.П. Жуковская, также является бесспорным и по сути блестящим доказательством подлинности дощечек «Книги Велеса», ибо впервые подобную замену при написании берестяных грамот отметил только в 1954 году А.В. Арциховский («Раскопки 1953 года в Новгороде», «Вопросы Истории», М., 1954, № 3). До этого сия особенность была никому не известна.*

*Да и до этой статьи (и монографии, вышедшей в конце того же года) даже вопрос о подлинности берестяных грамот был открыт, и та статья была по сути первой научной публикацией на эту тему. Ранее, до находки первых десяти грамот XIV-XV веков в 1951 году, о грамотах на бересте не было известно вообще, а заметные исследования начались только после раскопок 1953 года, принесших уже несколько десятков грамот, и только в 1954 году начались относительно крупные научные публикации на эту тему.*

*Конечно, кое-кто может порассуждать<sup>12</sup> на тему: мол, статья А.В. Арциховского вышла в марте 1954, а фотография дощечки П 16 впервые была опубликована в «Жар-птице» в феврале 1955 года (девять месяцев! вот оперативность!).*

*Конечно, жаль что не раньше. Но и А.А. Куренков и Ю.П. Миролюбов об открытии берестяных грамот узнали только в 1959 году, судя по их архивам, и то по кратким публикациям в американской прессе, а специальные советские академические журналы до них никогда не доходили.*

*Ну да даже не в этом дело, и не в том, что данный номер журнала «Вопросы истории» можно было в США добыть через значительное время после выхода и то, верно, лишь в библиотеке Конгресса. Для чего нужно было б, например, А. Куру съездить из Сан-Франциско в Вашингтон (сам же Ю.П. Миролюбов в то время был еще в Брюсселе и работал на химическом предприятии). Разумеется, ничего этого не было и быть не могло. Им всем было не до того, чтобы отслеживать новейшие исследования в России.*

*Главное то, что сама фотография была послана Ю.П. Миролюбовым, еще из Бельгии в США 10 января 1954 года, то есть за три месяца до публикации А.В. Арциховского. И документ этот, точно датированный, у нас есть (публикуется он и в данной книге).*

*Если кто-то еще сомневается (все же это архивные документы), можно вспомнить и публикацию в февральском 1954 года номере «Жар-птицы», вышедшем за месяц до работы А.В. Арциховского. А в этой статье (она есть в ИНИОН) на стр. 33 приведен значительный отрывок из «Книги Велеса», в том числе там можно прочесть: «налѣзѣнанѹј». То есть отмечено то самое языковое явление, ставшее известным в науке лишь после нахождения соответствующей грамоты и публикации о ней А.В. Арциховского.*

*И стоит ли удивляться в таком случае, что замечательный ученый, открыватель берестяных грамот А.В. Арциховский всегда и даже публично признавал подлинность текстов «Книги Велеса»<sup>13</sup>. Но, к сожалению, ему не дали возможность высказать это мнение также и в научной печати.*

*И даже если кто-то вспомнит, что первая новгородская берестяная грамота была найдена несколько раньше, то и мы можем напомнить, что в Русском Музее, в Сан-Франциско, а также в архиве Ю.П. Миролюбова есть письмо (и копия с него) о дощечках «Книги Велеса» за 1948 год, я уж не говорю о всех свидетельствах об исследовании дощечек до войны, да и о следах, оставленных этой книгой в XIX веке.*

*Да и что значит десять первых найденных тогда грамот XIV-XV веков, когда есть и рукописи подревнее? Только раскопки 1952 года дали несколько древних грамот (XI века), и о них первые исследования вышли уже после публикаций в «Жар-Птице», в конце 1954 года.*

*Только к 1954 году был получен достаточный материал для первичных исследований языка грамот, и только в 1954 году появились первые относительно заметные работы на эту тему. Только в 1958 году грамоты стали уверенно и верно датировать. И только в 1959 году вышла первая книга о языке берестяных грамот.*

*А отдельные новые языковые явления были выяснены только в 60-80 годах! И они опять таки совпали с тем, что было известно из текстов «Книги Велеса», Речь идет прежде всего о древнейших найденных в Новгороде берестяных грамотах с азбуками № 460 (XII в.), найденной в 1969 году, а также азбуки в грамоте № 591 (XI) века, найденной только в 1981 году, в коих знак Ъ заменяет знак Ь.*

*И это отличие от привычной кириллицы позволило академику В.Л. Янину заявить, что теория о Шафарика о самобытном происхождении славянской азбуки, и о том что Кирилл на самом деле изобрел «глаголицу» кажется весьма вероятной («Путешествие в древность», М., 1983). Ибо только с XVI века славянскую азбуку стали называть кириллицей. К тому же в одном из кириллических памятников XI века сказано, что он переписан с «куруловице» (т.е. как мы бы теперь сказали: «с глаголицы»).*

*Потому мы вправе говорить о том, что все доселе неизвестные особенности древнего новгородского диалекта, обнаруженные позже в языке и графике берестяных грамот, будучи также обнаруженными и в языке дощечек (изданных с 1954 по 1959 годы, то есть до значимых исследований новгородских грамот достаточной древности) являются безупречными доказательствами подлинности дощечек «Книги Велеса».*

*Мы вполне можем, как уже было показано, выяснить в каждом конкретном случае, когда была найдена та или иная грамота, текст которой отражал то или иное языковое явление, а также когда впервые об этом было заявлено в научной печати, а потом мы без труда можем найти это же языковое явление в текстах дощечек, опубликованных до этого времени.*

*Теперь перейдем ко второму пункту доказательства подлинности, продолжая статью Л.П. Жуковской из журнала «Вопросы языкознания».*

*Л.П. Жуковская:*

*Примерами, характеризующими носовые, по-видимому, могут быть следующие: менж - II, IV строки, грендеме или гренде - VI пригредехѹм - VIII в том же корне, слвен -IX, пршен, дцен - X (если здесь действительное причастие глаголов IV класса), жену - III, млбоу илимлвоу - V (по-нимание слова зависит от того, как читать дигамму), се -VII, VIII, моля - IV, наша - VIII строка (если это вин. падеж мн. числа). Вряд ли этот материал показывает, что писавший текст не умел обозначать носовые. Скорее, можно полагать, что он вообще не имел их в своей речи<sup>14</sup>. Ни один из славянских языков в указанное время не мог иметь подобный комплекс черт, характеризующих этимологические носовые. Картина здесь представлена следующая: 1) уже начался процесс деназализации, в ходе которого о, совпадало с у, а е - с е (т. е. как позднее в сербском<sup>15</sup>); 2) в положениях, где носовые сохранялись, они акустически и артикуляционно близки; ср. менж и гренде (т. е. как позднее в польском); 3) процесс деназализации начался с отдельных слов, корней и форм, при-чем в других корнях и глагольных формах носовые гласные задерживались.*

*Комментарий:*

*Здесь лучше было бы сказать: «все славянские языки в указанное время имели подобный комплекс черт, будучи не только родственными, но и лишь недавно разошедшимися от одного корня».*

*Что касается интерпретации тонких переходов носовых звуков, процесса назальности (или ринезма — носового образования), а также деназализации, все эти наблюдения носят предположительный характер (это замечает и сама Л.П. Жуковская), ибо нет твёрдой уверенности в том, как запись дощечек «Книги Велеса» отражает данные черты произношения. Ибо во-первых, в ней нет специальных букв для обозначения носовых, в то время как они могли быть в речи, при чем при написании они могли (так и есть!) обозначаться сочетаниями букв ён, он, к примеру.*

*Замечание, что данный признак присущ польскому языку, также служит подтверждением подлинности «дощечек», созданных Ягилой Ганом из западнославянского рода. Еще Г.С. Белякова, известный специалист по славянским древностям, автор книги «Славянская мифология», М., 1995., а также кандидат филологических наук и именно в области польского языка, заявляла, что автор дощечек «Книги Велеса» вполне мог быть пра-поляком. Её слова цитировал писатель В.С. Осокин в статье «Что же такое “Влесова книга”» («В мире книг», № 10, 1981. С. 73).*

*Неустойчивая орфография, взаимные замены букв, означающих гласные и согласные (впрочем, в строго определенных границах), позволяет лишь делать предположения о фонетических явлениях в речи писавшего тексты дощечек. Однако, одно совершенно бесспорно, в данных текстах происходят замены букв, означающих гласные звуки, в том числе и предполагаемых носовых, точно так, как и в древнейших славянских документах, подтверждая тем подлинность дощечек.*

*И это Л.П. Жуковской, и между прочим только ей, было отлично известно. Она чуть ли не первой отметила этот особый языковой признак. И потому в статье о дощечках «Книги Велеса» она сразу обратила на это внимание. И это замечание является по сути вторым безоговорочным лингвистическим доказательством подлинности дощечек, ибо этот признак не возможно было смоделировать.*

*Приведем для подтверждения этого положения слова самой Л.П. Жуковской, писавшей в книге «Текстология и язык древнейших славянских памятников» (Москва, 1976) буквально следующее.*

*Л.П. Жуковская:*

*Нужно постоянно иметь в виду явления графики и орфографии, относящиеся к закономерным, существующим и сменяющимся явлениям языка: Разная сохранность редуцированных, регулярные замены э — ё, ѿ — оу, э — я, ѣ — ь в сербских, болгарских и русских рукописях, ѱ — ѣ при транслитерации глаголицы и т.п.; замены старославянского ѱ в неполногласных сочетаниях через ё в древнерусских списках.*

*Комментарий:*

*Последнее отметим особо (регулярные замены ѱ, ё, ѣ): ибо это тонкое наблюдение Л.П. Жуковской блестяще подтверждает подлинность и древность текста «Книги Велеса». Именно на это она обращает внимание в своей первой статье о памятнике.*

*И я уверен, что ей принадлежат только наблюдения этих регулярных замен, а дальнейшие слова о том, что это невозможно — суть редакторская правка. Особенно это явно видно по совершенно не свойственному Л.П. Жуковской «ляпу»: вдруг она начала приписывать эти явления только неким загадочным «восточным болгарам» (как ранее «сербам»).*

*Да и знала ли она эти языки? Не известны ее переводы ни с сербского, ни с болгарского (я переводил с обоих языков, и знаю, что это очень непростая работа). Судя по всему, она только заглядывала в соответствующие словари (но не в грамматики) и «нахваталась» кое-каких сведений по этим языкам.*

*Что за «восточные болгары»? Чем они, интересно знать, тогда, в IX веке, отличались от западных, если это был и есть единый небольшой европейский народ с единым языком, который никогда не делился на западную и восточную часть (диалектные особенности там накапливаются в направлении север-юг). Не о волжской же Булгарии она тут вдруг вспомнила, ведь от тех болгар не дошло до нас ни одного документа: «Джагфар-тарихы» не в счет, ибо оригинала сей рукописи нет, есть только перевод на русский язык.*

*Да и о языке болгар IX века мы можем судить и то косвенно только по редчайшим памятникам, и то только уже X века. Более древние болгарские памятники пока не известны (к концу X-го веку относятся Брижинские и Фрейзингские отрывки богослужебных текстов, написанные в западной Карантании), и написаны они к тому же не на разговорном болгарском, а на церковнославянском (македонском по происхождению) языке, который много ближе к сербскому и русскому, чем собственно к болгарскому. Это совершенно отличные и далекие языки: болгарский выделился из славянской группы языков еще в Булгарии на Волге, он имеет другую оригинальную грамматику, не говоря уже о лексике!*

Потому полагаю, что эта нелепица принадлежит не Л.П. Жуковской, а некому безвестному «научному» редактору из журнала «Вопросы языкознания», иначе пришлось бы заподозрить Лидию Петровну в крайней некомпетентности. Но этому мешают все же её тонкие наблюдения за языковыми явлениями в тексте дощечек «Книги Велеса», которые стоит также привести и здесь. Итак, дадим ей слово.

*Л.П. Жуковская:*

Буква Ъ в соответствии с этимологией написана в словах: прсѣще - V, јмѣмѹ - VIII, нѹјнѢ - IX и, возможно, оупѢха - IV строка; буква Ѣ вместо е написана: вѹнѹјвѣрмѢнѹј -II, бя блгадрлѢ: - II, рцѢмѹ - VIII, о кудѢенѹшѹј -X строка; буква е вместо Ъ написана в следующих случаях:јмемѹ - VII, векѹј а дѹ векѹј - IX, млве (или млсе) - V, прсне - IX, врцет се - X строка; буква я вместо Ъ пишется в слове бя - 4 раза и, возможно, в других случаях, более со-мнительных. Написание я вместо Ъ еще можно было бы объяснить для более позднего периода, если видеть в авторе восточного болгарина (??? — А.А.) ; но написание е на месте этимологического ѣ для этого периода объяснено быть не может. Совмещение в одном памятнике, причем памятнике оригинальном, указаний на закрытое и одновременно на открытое произношение звука, восходящего к ѣ, а также этимологически правильных написаний свидетельствует против его достоверности.

*Комментарий:*

Здесь вполне можно было бы написать: «однозначно свидетельствует в пользу его подлинности».

Во-первых, заметим, что гласный звук, восходящий к ѣ, правильно для говоров моравских и древнерусских обозначать: ѣ ибо он обладал тогда высоким подъемом. (см. Хабургаев «Старославянский язык», с. 46). Чаще его обозначают знаком а (для церковнославянского языка книжников Древней Болгарии, а потом и Руси)

Вообще, приведенное замечание о «невозможности замен ѣ и э для указанного периода» прямо противоречит абсолютно точно установленному явлению регулярных замен букв (Ѣ, э, я), означающих эти звуки, во всех славянских памятниках этого периода. Это характернейшая черта праславянского языка.

И следует заметить, что это выяснилось только в 1957 году. Впервые об этом осторожно заявил Н. Ван-Вейк в книге «История старославянского языка» (М, 1957), в коей говорилось о том, что «можно предположить одинаковое произношение а после і и мягких согласных и праславянского ае».

Конечно, Л.П. Жуковская внимательно прочитала сей труд, и потому в ее работах, в том числе и в книге «Новгородские берестяные грамоты» (М., 1959) есть указания на подобную замену в грамоте № 154 рубль при постоянном рубль. Правда, Л.П. Жуковской это написание показалось необычным, если не ошибочным, эту же «ошибку» она нашла и в «Книге Велеса».

То есть на самом деле речь идет об указании на ещё одно, третье, языковое доказательство подлинности дощечек «Книги Велеса».

Дело портит только совершенно абсурдная с точки зрения науки о языке фраза о «невозможности совмещения...» но чего? Что за «открытое и закрытое произношение»? Бывают открытые и закрытые слоги, но произношения не бывает (как это произносить «закрыто», закрыв рот что ли?), фраза «научная» на слух и по виду, но антинаучная и бессмысленная по сути. Опять «правка редактора», или это небрежность самой Л.П. Жуковской<sup>16</sup>?

Она здесь, кажется, хотела сказать, что нельзя в одном тексте совмещать «грамотное» написание и «безграмотное». Да как же могло быть иначе, если грамматика тогда ещё не устоялась? Ягила Ган, видимо, уже читал и христианские книги, ведь тогда уже был и перевод Библии на русский язык (тот самый, что современник Ягилы Кирилл «видел в Хорсуни»), так что мог Ягила запомнить и некоторые традиционные написания отдельных слов. Да и позднюю перепись не стоит сбрасывать со счета.

Более столетия тогда оставалось до начала борьбы с «язычеством», и даже в Киеве и Новгороде в ведических храмах могли переписывать эти дощечки, скажем, во времена Владимира Святославича. А тогда были уже и христианские грамматические школы, и после деятельности Кирилла прошло более столетия. Да и кто сказал, что не было ведических грамматических школ? До IV столетия они явно были, судя по изошрённой грамматике «Боянова гимна»

Однако, вернемся к статье Л.П. Жуковской, ибо она обратила внимание и на следующий четвертый языковой признак подлинности дощечек.

Л.П. Жуковская:

Известному факту мягкости шипящих и ц в указанный период противоречат написание кудѣснѹцѹ - Х с окончанием ѹѹ вместо и в им. падеже мн. числа...

Комментарий:

*Оставим в стороне обычную для русского языка всех времен замену ы на и, и обратим внимание на заявление Л.П. Жуковской о будто бы имевшем место в языке IX века явлении мягкости шипящих и џ.*

*Речь идет о уже произошедшем к XI веку (ко времени древнейших славянских памятников) падении редуцированных, повлекшем за собой и регрессивное смягчение согласных (в том числе и шипящих и џ).*

*Ну так это к XI веку! Нет никаких причин полагать, что за 200 лет до этого падение уже произошло. В то время это процесс мог начаться и причем, скажем, только для отдельных слов, а мог и не начинаться. Из-за упрощенной орфографии «Книги Велеса» это трудно отследить, на что указывала и сама Лидия Петровна Жуковская.*

*Вспомним, что ранее, в начале этой статьи, Л.П. Жуковская также писала о шипящих в тексте памятника: «буква ч отсутствует, ее заменяет буква џ вследствие этого буква џ в «дощечке» соответствует двум кириллическим буквам — Щ и Ч». На самом деле обе эти буквы в тексте есть, но они близки по начертанию, потому смешивались и, видимо, как самим автором «Книги Велеса», так и переписчиками дощечек. И впоследствии, в статье «Мнимая “Древнейшая летопись”», опубликованной в журнале «Вопросы истории», № 6, 1977 (лингвистическая часть которой принадлежит Лидии Петровне), она согласилась с этим и уже писала следующее.*

*Л.П. Жуковская:*

*Как известно, языки развиваются во времени, но это развитие не одинаково реализуется в пространстве. В результате, в определенное время и на определенной территории язык характеризуется сочетанием только ему присущих особенностей. Благодаря этому, можно установить предыдущие и последующие этапы развития языковых черт.*

*Историкам, знакомым с древнерусским средневековыми письменными источниками новгородского происхождения, хорошо известно, например, «цоканье» — неразличение на письме (вследствие неразличения в устной речи) букв Ц и Ч, Ф и фиту. Позднее начнется неправильное употребление Е — ять (э). Однако в рукописях XII — XIII вв. (если исключить смоленские грамоты с их ранним смешением Е и ять) таких ошибок нет, так как в то время все названные звуки произносились различно в соответствии с происхождением (этимологией).*

*«Велесова книга» выдается за текст, написанный до того, как у славян появились глаголица и кириллица<sup>17</sup>. Но орфография «дощечек» показывает, что тот, кто их написал не умел обозначать носовые: он воспроизводил их в соответствии с тем, как это гораздо позже делалось в польском языке... (ну, о носовых мы уже говорили ранее, да и «польские» черты в тексте дощечек были неизбежны, и, кстати, кандидат филологических наук в области польского языка Г.С. Белякова писала, что автор «Книги Велеса» вполне мог быть и праполяком — А.А.). Во «Влесовой книге» отражено смешение Е и ять, которое появится только в смоленских грамотах в начале XIII века (и, замечу, поскольку это древнейшие смоленские грамоты, они прямо указывают на подлинность «Книги Велеса» — А.А.), отвердение шипящих и Ц — процесс еще более поздний в славянских языках... Содержание «Влесовой книги», ее язык, свидетельствуют, что перед нами подделка.*

*Комментарий:*

*После такой псевдонаучной словесной эквилибристики, можно уже писать что угодно «подлинный», «написан инопланетянами» и т.п. Человек, не сведущий в языке, может поверить уже чему угодно.*

*И поверили! Особенно доводу о «шипящих и Ц». Это ж так просто. Нужно только понять что же не устроило учёных. Итак, вначале, в 1960 году, Л.П. Жуковская писала, что в указанный период, т.е. в IX веке, было явление «мягости шипящих и Ц», она же в статье 1977 года повторила ссылку на это явление, заявив, что явление отвердения шипящих и Ц — «процесс более поздний в славянских языках». Заявление мягко говоря спорное, но даже если это и принять, почему тексты «Книги Велеса» сему противоречат? Их упрощенная орфография не может служить тому доказательством.*

*Здесь же она выразила и еще одно недовольство шипящими в текстах «Книги Велеса», обратив внимание на неразличение на письме букв Ч и Ц, и заявив, что в рукописях в рукописях XII — XIII вв. таких ошибок еще нет.*

*Позднее это ее недовольство шипящими разделил и О.В. Творогов, а потом и историк В.П. Козлов в своей статье (Родина, №4, 1998) повторил довод Л.П. Жуковской и О.В. Творогова, что древние новгородцы не могли смешивать «ч» и «ц», сочтя это «убийственным доводом» против «Книги Велеса», достойным до доведения его широкой научной общественности. Он, по видимому, решил, что вполне понял о чем речь, ибо эти буквы, в отличие от юсов («носовых») были ему знакомы.*

*Так что же в «Книге Велеса» происходит с шипящими и «ц»? Да ничего особенного. В самом деле, в текстах постоянно смешиваются «ч», «ц» и «ц», что вполне может служить прямым указанием на «цоканье» в речи автора (древнего новгородца).*

Так было ли «цокание»? Л.П. Жуковская в статье 1977 года утверждает, что «нет», «не было». Однако, именно Л.П. Жуковская нашла это самое явление еще в 1959 году в берестяных грамотах! Это было ее открытием! Этому она посвятила целый § 7, главы IV в своей книге «Новгородские берестяные грамоты». Он так и назывался: «Цоканье в новгородском диалекте».

Отсюда очевидный вывод: нахождение в сотнях берестяных грамот примеров неразличения на письме «ц» и «ч», совпадающее с точно таким же явлением в текстах дощечек «Книги Велеса», и при полном отсутствии этого явления в иных древнейших письменных источниках (это полностью исключает возможность знакомства с этим явлением мифического фальсификатора) является строгим, безусловным и безоговорочным доказательством подлинности текстов дощечек «Книги Велеса».

А поскольку это явление было присуще только жителям Древнего Новгорода предположение о «копировании» дощечек «Книги Велеса», скажем, в Древнем Киеве должно быть отклонено (киевляне не «цокали» и поправили бы рукопись). Ю.П. Миролюбов имел дело с подлинными дощечками, созданными новгородцем, и наиболее вероятно самим Ягилой Ганом!

На это и «намекала» Л.П. Жуковская, прямо указывая на «цокание», обнаруженное ею в текстах «дощечек». Потому после цитирования работ Л.П. Жуковской с указанием на «цокание» в «Книге Велеса», мы приведем также раннюю и блестящую работу Л.П. Жуковской, посвященную открытию явления «цоканья» в берестяных грамотах Древнего Новгорода.

*Л.П. Жуковская:*

Новгородские берестяные грамоты показывают, что в новгородском диалекте уже с XII века было цоканье, т.е. на месте разных этимологических аффрикат «ц» и «ч» в нем произносилась одна аффриката. Качество этого звука новгородские берестяные грамоты, конечно, не показывают, потому что написания буквы ч на месте «ч» и «ц» не свидетельствуют о произношении [ч], похожего на современный звук [ч'], также как написания ц на месте «ч» и «ц», не говорят о произношении [ц]. Смешение на письме букв ч и ц указывает лишь на близость, даже на полное совпадение звуков, которые произносили в этих случаях жители Новгородской земли.

О неразличении двух аффрикат свидетельствует также написания какой либо одной буквы на месте этимологических «ц» и «ч». Характерно, что среди рассмотренных берестяных грамот нет таких, в которых употреблялось бы только буква ч в полноценном материале (то есть на таком, в котором имеются примеры с тем и другим этимологическим звуком). Но написание только буквы ц на месте «ц» и «ч» широко представлено (грамоты № 4, 19, 21, 22, 25, 31, 43, 45, 54, 94, 136, 141).

*Неразличение двух аффрикат нашло свое выражение и в грамотах № 138 и 154, в которых, видимо, по странной случайности буква ч написана для этимологического «ц» и буква ц для «ч».*

*О совпадении двух аффрикат свидетельствует написание ч при отсутствии материала о передаче «ц». Сюда относятся грамоты № 14, 23, 24, 30, 32, 41, 49, 53, 68, 82, 135, 140, 147, 169, а также грамота № 155, если в ней читать имя Полочѣкъ ( в грамоте: полоцька). К этой группе принадлежат грамоты № 61 и 119, в которых на месте «ч» пишутся буквы ц и ч (при отсутствии материала на этимологический «ц»), и грамоты № 69 и 167 с таким же правописанием на месте «ч» и написанием ц на месте «ц»... и т.д.*

*Комментарий:*

*В дальнейших строках статьи из «Вопросов языкознания» Л.П. Жуковская останавливается на некоторых чертах морфологии памятника и допускает ряд ошибок грамматического характера, о чем я подробно писал в монографии «Велесова книга» М., 1994, 1995 (с. 247).*

*На это указывал и о. Стефан (Ляшевский), безусловный авторитет в области старославянского языка.*

*К примеру, Л. П. Жуковская указывает на невозможность формы: вѹждѹј для существительного единственного числа («будь славен вождь»). Я вслед за А.А. Куром, С. Лесным и Б. Ребиндером также вначале считал, что здесь обычная замена гласных, потому вначале перевел также: «вождь». Чисто грамматических и языковых причин для безусловного избрания другого перевода нет (хоть мне еще с 1992 года был известен возможный второй вариант перевода).*

*Однако, о. Стефан указал, что эта фраза взята из церковной службы, сохранившейся в «мазурском» наречии, где употребляется именно слово «вожды», в значении «всегда» (по типу: «однажды», «многожды»), что впервые было отмечено еще переводчиком В.И. Лазаревичем. И хоть я до сего времени не видел таких записей сей церковной службы (что явилось бы безусловным аргументом в пользу такого перевода), но авторитет о. Стефана, его знание литургии, в том числе и особенностей ее у разных народов заставляет меня согласиться с таким толкованием.*

*Поскольку в последующем абзаце статьи Л.П. Жуковкой есть только ошибки и нет ничего замечательного (в смысле доказательств подлинности дощечек), мы его опускаем.*

*А конец статьи посвящен указанию на архив А.И. Суакадзева и на автора «Книги Велеса», Ягилу Гана. Эту часть статьи мы приводили. Она имеет крайне важное значение, ибо также является источниковедческим доказательством подлинности памятника.*

*Итак, Л.П. Жуковская в своих работах указала на 5 палеографических, 4 языковых и одно источниковедческое доказательство подлинности «Книги Велеса». Итого 10 доказательств. К ним можно прибавить еще несколько, чему будут посвящены последующие работы палеографов и языковедов, но основное уже сделано.*

*Воздадим же должное Л.П. Жуковской, и простим ей то, что, живя в реальном мире, ей пришлось идти на компромиссы, противоречить себе, просто для того, чтобы выжить. И ситуация эта настолько привычна в «научном мире», что ныне я не вижу выхода. В науке должно смениться поколение, и будем надеяться, что новые ученые переболеют «старыми болезнями» в более мягкой форме.*

*Подведем окончательный итог:*

*I. Открытые палеографические доказательства подлинности «дощечек» от Л.П. Жуковской:*

- 1) Графика «дощечки», в ряде черт приближается к другим древним алфавитам.*
- 2) Буква Щ размещена в строке, что присуще наиболее древним почеркам кириллицы.*
- 3) Древними являются симметричное Ж и буква М с овалом, провисающим до середины высоты буквы, что сближает её с соответствующей буквой в надписи царя Самуила 993 г.*
- 4) За древность говорит «подвешенное» письмо.*
- 5) В тексте хорошо выдержана сигнальная линия, проходящая у всех знаков по середине их высоты, что является свидетельством в пользу наибольшей возможной древности кириллического памятника.*

*II. Скрытые лингвистические доказательства подлинности «дощечек» от Л.П. Жуковской:*

- 6) Замена О и Ъ и (особенно при передаче звука ы), известная только в текстах «Книги Велеса» и берестяных грамотах. Причем в берестяных грамотах она отмечена после публикации текстов «Книги Велеса».*
- 7) Разная сохранность редуцированных, регулярные замены э — ё, ѿ — оу, э — я, ѣ — ъ в сербских, болгарских и русских рукописях, отмечаемая также и в дощечках «Книги Велеса». Причем то, что это было присуще древнейшим новгородским берестяным грамотам (из за особенностей новгородского говора) стало известно после публикации «Книги Велеса».*
- 8) Написание я вместо э и написание ё на месте этимологического э (а также А) в «дощечках» и ранних новгородских грамотах.*
- 9) Смешение на письме букв ч и ц как в текстах «Книги Велеса», так и в новгородских берестяных грамотах, указывающее на «цокание» новгородцев того времени, подтверждённое только после находок древнейших берестяных грамот.*

*III. Скрытое источниковедческое доказательство подлинности «дощечек» от Л.П. Жуковской:*

- 10) Памятник был известен с начала XIX века. Он находился в архиве антиквара А.И. Сулакадзева, и в его каталоге был отмечен его автор: «Ягила Ган», живший в Ладоге IX века.*

1 На самом деле в «велесовице» есть обе буквы означающие звуки щ и ч, близки по начертанию— А.А

2 Очень ценное замечание об отсутствии буквы ь в фотоконии этой дощечки. В транслитерации она появляется, но о. Стефан (Ляшевский) после писал, что некоторые из них, если не все, вставлены Ю.П. Миролюбовым (по свидетельству А. Кура), когда он делал в Брюсселе копию для себя (чтобы понять смысл текстов), а потом они не были убраны при последующих публикациях. Как относится к этому свидетельству — не совсем ясно (ибо есть все основания для признания существования этих букв в оригинале, и есть также основания недоверять А. Куру). — А.А.

3 Ну разумеется и эта особенность Жуковской отмечена, и она поняла, что это признак подлинности дощечки (по Арциховскому!).

4 Предположение потом не подтвердилось. — А.А.

5 Это буква Б, повторяющая шведско-норвежскую руну и означающая как и в рунах губной звук «б». — А.А.

6 Л.П. Жуковская располагала помятым при пересылке снимком (у нас есть лучшие), потому не узнала что эти «черточки» являются частью вариантов букв З и Г. — А.А

7 Чуть искаженная буква К. — А.А.

8 А для берестяных грамот, о коих Л.П. Жуковская внезапно «забыла», и прямое! — А.А..

9 И здесь следует заметить, что подобное расположение и начертание этой буквы для древнейшего новгородского по происхождению документа впервые было отмечено только в берестяной грамоте № 78, найденной в октябре 1952 года, а опубликованной и исследованной только ко второй половине 1954 года. См. монографию А.В. Арциховского «Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1952 года», М., 1954 г., подписанную к печати 12. VI. 1954, а вышедшую в ноябре-декабре, не ранее (в Штаты, в библиотеку Конгресса, весьма далекую от Сан-Франциско, она могла попасть только к середине 1955, где ее так никто и не читал). В этой работе А.В. Арциховским и М.Н. Тихомировым впервые указан этот признак, как датирующий новгородские документы временем ранее XI века (по сравнению с надписью на корчаге из Гнездова и надписью царя Самуила).

И тут следует заметить, что тексты «Книги Велеса» стали в «Жар-птице» публиковаться много ранее этого срока, а именно с января 1954. И даже фотография дощечки с этим признаком была впервые опубликована в январе 1955, а если учитывать, что номер окончательно формируется как минимум за два месяца до публикации, то ясно что никто не мог знать это открытие при всем желании, коего, кстати, ни у кого не было (публикаторы дощечек до 1959 года были вообще не в курсе находок берестяных грамот в Новгороде). — А.А..

10 Сомнение она высказала выше только по поводу «небрежности» начертания двух букв, причину чего она же и объяснила ниже. А так все в ее статье указывает именно на подлинность. — А.А..

11 А как же надпись царя Самуила? И почему Л.П. Жуковская в течении всей работы молчит о берестяных грамотах? Ведь именно по ним она являлась в то время крупнейшим специалистом! — А.А

12 Как это уже делала Е.В. Уханова «У истоков славянской письменности», М., 1998, с. 220..

13 См. об этом: В.С. Осокин. «Что же такое “Влесова книга”». // «В мире книг», № 10, 1981. С. 73.

14 Замечание тонкое, но все здесь предположительно. И если вспомнить, что Ягила Ган был родом из западнославянских земель, то в его речи могли быть любые переходы от носовых к «ен» и пр. Он то пишет почти «по-польски», то сбивается на восточнославянское написание и, может быть, произношение. И по иному быть не могло у человека с таким происхождением и географией странствий. — А.А.

15 А ранее также в восточном и западном славянском! Да и сами южные славяне (в том числе сербы) пришли на Балканы частью из западнославянских земель, а частью из под Смоленска. И было это в VI веке, всего за триста лет до Ягила, потому не стоит удивляться возможной общности некоторых черт в столь родственных славянских языках.

И, между прочим, это «азы» фонетики. Откроем, к примеру, вузовский учебник Г.А. Хабургаева «Старославянский язык» (М., 1986) на странице 46. Там однозначно сказано, что старославянской фонеме о, в русском языке (отнюдь не в сербском!) соответствует именно звук у. Судя по всему это явление было хорошо известно Л.П. Жуковской, если она тут же обнаружила его в тексте «дощечки», а уж только сербам оно приписано по недоразумению. — А.А.

16 В статье «Мнимая древнейшая летопись» («Вопросы языкознания» № 6, 1977) Лидия Петровна правильно говорит о бытовании у славян открытых слогов (оканчивающихся на гласную), но здесь то о чем речь? — А.А.

17 Чего ради? Это не так, ибо в самой «Книге Велеса» есть споры с Кириллом! — А.А.

### **Дмитрий Гаврилов О РУНАХ ВЕЛЕСОВОЙ КНИГИ**

Под термином "Велесова книга" подразумевают прежде всего священные тексты волхвов, спасенные полковником белой армии, Али Изенбеком в 1919 году. Произошло это в имени князей Задонских неподалеку от станции Великий Бурлюк, что под Харьковом [1].

Находка представляла собой буковые дощечки приблизительно одного размера 38- 22- 1 см., о числе которых сейчас можно судить исходя из того, что все они уместились в морском мешке - вероятно, около 40-а. На каждой дощечке было просверлено по два отверстия для крепления шнуром, одни соединялись, как книга, другие - как альбом. На дощечках были нарисованы прямые параллельные линии, строго под которыми размещались буквы, как в санскрите или хинди- письмена вдавлены в древесину острым стилем и во вдавленные места втерта краска, и затем все было покрыто чем-то вроде лака. Буквы плотно прижимались друг к другу без интервала. Подобный тип текстов называется "сплошняком", он был характерен для кириллического строя Древней Руси. Однако, похожий на кириллицу алфавит, используемый безымянным волхвом, ею не являлся [2].

Вывезенные в Брюссель письма были скопированы известным литератором Юрием Петровичем Миролюбовым. Он посвятил реставрации текстов 15 лет (1924-1939), его благородная работа охватила 90% материала [3]. Вероятно, им же сделаны фотостатные снимки ряда дощечек. Изенбек имел собственную художественную мастерскую, где Ю.П.Миролюбов и работал над "книгой", поскольку хозяин не желал расставаться со своей находкой- этим можно объяснить плохое качество снимков. Вот что пишет сам Миролюбов о дощечках: "Нам выпало большое счастье видеть "дощечки" из коллекции художника Изенбека, числом 37.... Частью буквы напоминали греческие заглавные буквы, а частью походили на санскритские. Текст был слитным. Содержание трудно поддавалось разбору, но по смыслу отдельных слов это были моления Перуну, который назывался временами "Паруном", временами "Впаруной", а Дажьбог назывался "Дажьбо" или "Даже". Текст содержал еще описание, как "Велс учил Деда земе рати". На одной из них было написано о "Купе-Бозе", вероятно, Купала, и об очищении "омовлением" в бане и жертвой "Роду-Рожаницу", "иже есь Дедо Свенту". Были строки, посвященные "Стрибу, кий же дыха яко хце", а также о "Вышен-Бог, иже есть хранищ живот наших". Подробный разбор "дощечек", которые нам удалось прочесть до их исчезновения, будет нами дан отдельно. "Дощечки" эти были обнаружены Изенбеком во время гражданской войны в разгромленной библиотеке князей Задонских".

После смерти Изенбека в 1941 году подлинники текстов вместе с сотнями картин умершего были изъяты гестапо. Вероятно, священные письма русов-волхвов осели в архивах "Hitler's Ahnenerbe"- Наследие Предков [4], особой фашистской организации, основанной в 1933 году, в нее входило 50 институтов, занимающихся в том числе оккультными исследованиями. Ими руководил профессор Вурст, специалист по древним священным текстам, преподававший санскрит в Мюнхенском университете. Там живо поняли, какую опасность таят в себе буквые дощечки. Велесова книга начинается рассказ с легендарного исхода древних русов из Семиречья во втором тысячелетии до новой эры под предводительством Ария и его сыновей. Она недвусмысленно причисляет наших "неполноценных" предков "к истинным арийцам" и подрывает гитлеровскую теорию расовой чистоты. В книге говорится о двух ветвях праславян- словено-венедской и арийской, о происхождении праславянских и скифских родов, о бесконечных войнах пращуров за свою свободу и независимость против киммерийцев, греков, римлян, готов, гуннов, авар, хазар. Рассказ завершается упоминанием Эрика-Рюрика, а также Аскольда, который пытается крестить киевлян. Далее некий обрыв повествования и последняя дощечка гласит: "И крещена Русь сегодня..." Вероятно, у "книги" было несколько авторов-волхвов, т.е. письма собраны воедино из различных святилиц языческой Руси.

Предположение о похищении подлинников Аненербе высказывал сам Миролюбов, и к тому были основания, еще не зная об истинном размахе этой тайной организации. Гиммлер в 1935 году поставил перед "Наследием Предков" такие цели: "Искать мысль, действия, наследие индогерманской расы и сообщать народу в привлекательной форме результаты этих поисков. Выполнение задачи должно отличаться методами научной точности". Управляющий Аненербе- полковник СС Вольфрам Сиверс, прежде чем над ним свершили приговор Нюрнбергского суда, произносил некие таинственные нехристианские молитвы [4]. Большая часть архива этой нацистской организации была вывезена в СССР в качестве трофея, и скрыта по сей день...

С 1952 по 1959 годы копии Ю.П.Миролюбова начинают печататься на страницах изданий русской эмиграции в Америке. Бывший генерал белой армии А.Куренков, он же и известный ассириолог А.Кур, секретарь Музея русского искусства в Сан-Франциско в журнале "Жар-птица" публикует ряд статей и собственную реставрацию текстов, основываясь на фотостатных снимках и копиях Миролюбова. Сторонники подлинности Велесовой книги признают его работу более строгой, чем у самого Юрия Петровича.

Термин "Велесова книга" введен ученым С.Я.Парамоновым (Лесным) в 1957 году, им же назван странный жреческий алфавит - "велесовица". Своим названием Книга обязана двум фактам - во-первых упоминанию имени Влеса или Велеса на одной из дощечек, где прямо сказано, что книга волхвов посвящена ему. Во-вторых - волхвы - это сами по себе служители в первую очередь бога мудрости- Велеса-Волоса (затем это их прозвище было перенесено и на других славянских жрецов). Задумайтесь, кстати, над словами волшебство и волошба.

В 1960 году С.Я.Парамонов переслал одну из фотографий дощечки книг в СССР, в Советский славянский комитет, где всю книгу тут же объявили подделкой. Лишь в 1976 году у нас вновь заговорили о дощечках Изенбека. С тех пор всякий, кто тем или иным образом соприкасается с "тайной волхвов" становится либо сторонником подлинности книги, как, например, покойный Б.А. Ребиндер, либо противником, как, к сожалению, академик Д.С.Лихачев, назвавший Велесову книгу мнимым открытием.

Сейчас начался новый этап в осмыслении текстов. С одной стороны стоят те, кто настаивает на "предхристианской дикости и варварстве славян", будто и впрямь русы слезли с ветки, заведя Кирилла, словно бы вся русская культура началась с Владимира Крестителя. С другой стороны - прежде немногочисленные защитники, но их ряды множатся. Велесова книга выдержала в России и за рубежом несколько изданий [1,2,5-7], одно лучше другого, с аргументированными статьями в защиту подлинности текстов. Не суть важно, что авторы по разному именуют Книгу - Влесова книга (Лесной, Ребиндер, Скрипник), Велесова книга (Асов), Патриархи (Грицков, Тороп), Лебединая Книга (Щербаков). Все они сошлись в одном - тексты подлинные.

Упомяну издание оппонента Книги - О.В.Творогова [8]. Это единственный из многих оппонентов подлинности Влесовой Книги, который несмотря на свой подход опубликовал часть ее текстов, чем и заслужил уважение. Что это за подход? А вот он! "Создатели "Влесовой книги" - носители и пропагандисты враждебной идеологической концепции".

Отмечу оформление книги издательства "Наука и религия"(1992)[5] и, уже упомянутое издание- "Менеджер"(1995), где на одной странице приведена сама "руника" с некоторыми коррективами, а на соседней странице- ее практически дословный перевод. Вы можете попробовать свои силы и дать собственную интерпретацию. Второе исправленное и дополненное издание "Влесовой Книги"[1] сопровождают статьи А.И.Асова, который по пунктно отвечает на критику книги О.В.Твороговым и Л.П.Жуковской. Не стоит пересказывать упомянутые статьи, за меня это лучше сделают авторы, список литературы приведен в конце, отмечу лишь некоторые доводы "ЗА", а потом изложу результаты своих наблюдения в помощь подвижникам.

Обвинять Миролюбова в подделке глупо, по предложению Асова А.И. нужно провести экспертизу его рукописей, исследование бумаги и чернил может уточнить известную датировку 1924-1939, когда и сколько лет подряд Юрий Петрович переписывал "велесовицу".

Язык берестяных грамот Новгорода, найденных А.В.Арциховским, имеет некоторые особенности - например, цоканье- неразличимость Ц и Ч, на что объективно указала Жуковская Л.П. [9] до ее знакомства с одной единственной фотографией дощечки из Влесовой Книги в 1960 г.

Действительно, как оказалось, ряд грамматических и фонетических особенностей текстов Велесовой книги, в том числе и упомянутое цоканье- совпадают с языком берестяных грамот Древнего Новгорода. Для тех же берестяных грамот характерно "совпадение дательного и родительного падежа для а-форм"[9]. Эта морфологическая особенность склонения наблюдается и в текстах волхвов. Велесова книга IX века древнее известных ныне грамот (XII в.) на два столетия, за это время новгородский диалект еще не претерпел столь уж существенных изменений. Поскольку упомянутые грамоты признаны подлинниками, а открыты они через несколько десятилетий после обретения самой Велесовой книги, значит использовать их для подделки никто не мог.

Юрий Миролюбов был литератором, но никак не лингвистом, и тем более - не археологом, и значит, подделать Книгу он уже не мог. Однако, есть версии, что Миролюбов работал с подделкой, принимая ее за подлинную древность.

Фальсификацию Велесовой книги приписывают Петербургскому коллекционеру и мистика А.И.Сулакадзеу, современнику Г.Р.Державина. Он действительно "баловался изготовлением поддельных древностей"(о чем несомненно знал и Державин). Ему же принадлежала копия "Оповеди"- праславянский рунический текст о крещении жителей Валаама за полвека до Владимира. Рукопись хранится и сейчас в архивах Ново-Валаамского монастыря. Впрочем, как пишет В.Грицков в своей статье [10], коллекция содержала не только подделки. Сулакадзе был членом ряда мистических обществ. После его смерти в 1830 году все прочие рукописи исчезли, можно с уверенностью сказать. Что его архив разошелся по членам тайной секты, к которой Сулакадзе принадлежал. Правда в архиве поэта Державина остался рунический фрагмент "Боянова гимна". Фрагмент рассказывает об эпизоде борьбы антов-полян с готами IV в.н.э [11]. В 1812 году нашим великим соотечественником Г.Державиным было опубликовано два рунических отрывка из коллекции Сулакадзева [12]. В собрании сочинений Державина 1880 г. славянская руника тоже воспроизводится. Один отрывок как-раз из-за упоминания в нем Бояна и Словена назван "Бояновым гимном Словену", а второй - "Оракул" - произречения волхвов. Об отрывках знал и Карамзин и просил ему переслать подлинники.

В 1994 году в 39 томе архива Державина был найден полностью текст "Боянова гимна". Восстановлен и протограф, который чаще называют "Староладожским руническим документом", чтобы отличать его от частью фальсифицированного Сулакадзевым "Боянова Гимна". Руника и телеграфный, предельно сжатый стиль документа (а также упомянутого "Оракула") удивительно напоминает "велесовицу". Документ есть переписка между двумя волхвами-кобами (гадающими по полету птицы). Один из них - жрец Старой Ладogi, а второй волхв - из Новгорода.

Датировка документа исходит из того, что в нем есть такие строки согласно переводу В.Торопа [13]:

...гну кобе свит

хрсти иде ворок лдогу

млм жертву орота рабом а граду сра

кб речи прунупе гну мму кби стр

мжу срока чаа лж грмту

м кимру руса и до кимра роду

*врго руму и тебе стилху  
блрв дор воине мком бу врву груку родом  
отуарих до ижсодрик до т лже еруеку воину  
а клму алдорогу  
мру дее и жгом свове бога мрчи грднику вчна  
борус на костеху стау  
сраде бус до дориу нобубсур....  
... "Господину светлomu коб:  
Христиане идут, враги, к Ладогe-городу.  
Молимся, жертвы приносим, чтобы не  
поработили и не порушили бы город  
Посылаю речи Перуна моему господину, коб-старец.  
Мужу посылаю, заветного срока ожидая,  
против лжеграмоты.  
Русы были кимрами и до кимров жили.  
Были врагами Риму и тебе, Стилихон;  
Болорев; Дир-воин был нам на муку, был  
варваром, а родом - грек.  
Отуарих. Затем Ижсодрик, затем лживый  
Эрик-воин;  
проклятый Алдорг смерть сеяли, нашего бога  
жгли, убивая горожан.  
Вечна Борусь, на костях стоит.  
Страждет от Буса до Дира...."*

*Таким образом "Ладожский рунический документ" подтверждает сведения Велесовой Книги, что Дир был родом грек. Но Сулакадзев, несмотря на многочисленные переделки протографа сам его не писал, как не писал он и Велесову Книгу.*

*Выше мы сказали о частичной фальсификации им текстов. Нет сомнений, что перлы типа: "*

*Ночь. Лунный блестящий свет,  
Белый круг твой виден в тихой воде.  
Я, Боян, Славенов потомок.*

*Сердце, вспоминая его, содрогается.*

*Очи, источая слезы, из под камня льются."*

*- очевидный подлог. Но протограф то от этого поддельным не становится.*

*А вот фразы типа: "Суда Велесова не избежать" - вряд ли могут оставлять сомнения в подлинности части гимна даже Сулакадзева. Речь идет о 1811 году, когда ни один славянофил не мог и представить, что Велес - "судия пекельного мира". А.Кайсаров (1803, 1807) и Г.Глинка(1804) даже не намекают на это.[2]*

*Нам скажут, что мы ошибаемся, когда говорим, что "в начале прошлого века никто еще не предполагал, что Велес является Стражем Нави!". И дескать Сулакадзеву Велес должен был быть знаком в своей балтийской ипостаси Велса (Виелона), которую многократно описывали авторы, интересовавшиеся славянскими древностями (Ласицкий в 16 веке, Стендер и Эйнхорн в 17-м) именно в качестве бога загробного мира, владыки души и покровителя усопших предков. Но на описываемый момент, а это 1811 год, нет таких работ, где бы специалисты по прибалтийской или по славянской мифологии проводили бы тождество Виелоны и Велеса. То случилось гораздо позднее, когда такие специалисты в России действительно появились.*

*Как справедливо отмечает Асов А.И., Сулакадзев не мог являться изготовителем Велесовой Книги, т.к. он не знал содержание Ригвед (их первый перевод сделан в 1870-х гг в Германии). Между тем в Велесовой книге упомянуты Ригведовские гимны Индре и Валу.*

*Он не мог также знать, а волхвы пишут и об этом, что скифы воевали в войсках вавилонского царя Навуходоносора II. Последнее стало известно в начале 20-го века после раскопок. "Лишь в 1970-е годы (уже после смерти Миролюбова), изучив данные археологов, ученые пришли к выводу, что скифы перед появлением в Передней Азии 200-300 лет жили в Причерноморье. Между тем, даже Геродот, единственный автор на которого мог бы опереться гениальный фальсификатор, описывая события в Велесовой книге, не оставляет промежутка между вторжением скифов в степи у Сурожского моря и походом их против мидян".*

*А раз Сулакадзев не подделывал Велесовой Книги, то и протограф Боянова Гимна, где говорится, как и в Велесовой Книге, что Дир - крещеный и грек - этот протограф он тоже не мог сотворить на тот момент."*

Выделим в сведениях "Патриаси" (так иногда называют Велесову Книгу) следующий сюжет. Согласно реконструированной хронологии, предки авторов текстов в начале 2-го века до н.э. переселились с Карпат в бассейн Припяти. В районе Днепра они жили до начала третьего века н.э., а потом вновь последовало переселение. При этом к родственным народам причислены придунайские бастарны. Выделенный сюжет - пишет Виктор Грицков [14] - хорошо ложится на зарубинецкую археологическую культуру. Ее памятники сосредоточены главным образом в районах Среднего и Верхнего Поднепровья и Припятского Полесья. Возникновение этой культуры относится к последней трети 3-го - началу 2-го века до н.э., а исчезновение - к концу второго века н.э. ...Налицо согласованность сведений Книги и СОВРЕМЕННЫХ нам археологических данных. Хотя первые памятники зарубинецкой культуры были открыты в 1899 году археологом Хвойкой, он считал ее не пришлой, а продуктом развития предшествующей скифской культуры. По его представлению зарубинецкая культура не исчезла, а трансформировалась в черняховскую. Из найденных Хвойкой памятников из района Припяти не было ни одного. Интенсивное изучение древностей зарубинцев на Припяти началось только в 50-е годы. Но долгое время и после этого господствовала точка зрения, согласно которой культура датировалась концом 2-го века до н.э.-началом 2 века н.э. Положение изменилось только в начале 80-х годов, после того, как европейские специалисты уточнили хронологию латенских древностей".

Таким образом "фальсификатор" Миролюбов должен был знать заранее филологические тонкости берестяных грамот, и буквально смотреть сквозь землю, чтобы опередить своей "фальшивкой" сведения современной археологии на 30-50 лет. И таких примеров опережения Книгой данных археологии много, главным образом они укладываются в праславянскую концепцию академика Б.А.Рыбакова, хотя сам он пока не высказался ни за, ни против "дощечек волхвов".

В своей работе в примечаниях к Велесовой Книге А.И.Асов сравнивает велесовицу с более поздними кириллицей и болгарской глаголицей, создание которых приписывают Кириллу, Велесова Книга отказывает ему в этом подвиге: "Они (греки - прим. наше) говорили, что установили у нас письменность, чтобы мы приняли ее и утратили свою. Но вспомните о том Иларе, который хотел учить детей наших и должен был прятаться в домах наших, чтобы мы не знали, что он учит наши письмена, и то, как приносить жертвы богам нашим.". Именно поэтому столь рьяно некоторые православные взялись за огульное охаивание Велесовой Книги. Она выбивает у них из под ног (и без того зыбкую) почву для дискуссии о кажущемся варварстве славян и всего лишь 1000-летию их культуры.

По моим подсчетам (рис 1) велесовица содержит в себе гораздо больше "венедских и скандинавских" рун, чем это отмечалось ранее А.Асовым [1, стр. 226-232]. Из Эдды следует, что люди получили знание рун от Одина-Водена-Вотана."

Руны найдешь

и постигнешь знаки,

сильнейшие знаки,

крепчайшие знаки,

Хрофт их окрасил,

а создали боги

и Один их вырезал"

(142. "Речи Высокого", [15]).

Его тождество с Велесом автор этой статьи и А.Платов [16-19] попытались доказать, и это нам, по-видимому, удалось.

Интуитивно, к этому же пришел и А.Асов. Велес неспроста назван в Русских Ведах Буйным. Это же значит имя Одр-Один, т.е. Бешеный дух. Белорусы вместо "буйные хлеба" говорят "великая збажана", а вместо русского "очень"- "вельми".

Мифология венедов и германцев связаны крепко. И нельзя судить об одной, не разбираясь с другой. В Эдде венедов именуют ванами. Обычно, это утверждение воспринимается с явным недоумением. Так, почему эддические ваны есть веныды и причем здесь Велесова Книга?

I. Ваны и веныды(славяне) живут на одной и той же территории. "Сага об Инглингах" [20] говорит о том, что местность у устья Дона есть страна Ванов, и что асы, возглавляемые Одином, шли из-за Ванаксвиля."

I. ...С севера с гор, что за пределами заселенных мест, течет по Швеции(Скифии) река, правильное название которой Танаис. Она называлась раньше Танаквисль, или Ванаквисль (Дон). Она впадает в Черное море. Местность у ее устья называлась тогда Страной Ванов, или Жилищем Ванов. Эта река разделяет трети света. Та, что к востоку, называется Азией, а та, что к западу, - Европой.

II ....Страна в Азии к востоку от Танаквисля называется Страной Асов, или Жилищем Асов, а столица страны называлась Асгард. Правителем там был тот, кто звался Одином. Там было большое капище. По древнему обычаю в нем было двенадцать верховных жрецов. Они должны были совершать жертвоприношения и судить народ. Они назывались дьями, или владыками. Все люди должны были им служить и их почитать. Один был великий воин, и много странствовал, и завладел многими державами...

V. ...Большой горный хребет тянется с северо-востока на юго-запад (Урал). Он отделяет Великую Швецию (Великую Скифию) от других стран. Недалеко к югу от него расположена Страна Турок (Туркмения). Там были у Одина большие владения..."

Об исходе асов из Туркмении (Парфии) писали Саксон Грамматик, цитируемый здесь Снорри Стурлуссон, а из современных авторов, например,- Франко Кардини (см "Истоки средневекового рыцарства") и Владимир Щербаков. Шлиман ориентируясь на Гомера открыл Трою, а Щербаков открыл один из Асгардов (Ашхабад) ориентируясь на "Младшую Эдду" и "Сагу об Инглингах" Снорри Стурлуссона (кстати его выводы подтверждены недавними раскопками у Старой Нисы).

2. Ваны эддические и асы живут рядом, их миры граничат друг с другом, скандинавы и веныды жили рядом. (Туркмения (Парфия) и Ванское царство, Скандия и Рутения, Швеция и Гардарики) "

IV. ... Один пошел войной против Ванов, но они не были застигнуты врасплох и защищали свою страну, и победа была то за Асами, то за Ванами. Они разоряли и опустошали страны друг друга. И когда это и тем и другим надоело, они назначили встречу для примиренья, заключили мир и обменялись заложниками...

*У. ... В те времена правители римлян ходили походами по всему миру и покоряли себе все народы, и многие правители бежали тогда из своих владений. Так как Один был провидцем и колдуном, он знал, что его потомство будет населять северную окраину мира. Он посадил своих братьев Ве и Вили правителями в Асгарде, а сам отправился в путь и с ним все дии и много другого народа. Он отправился сначала на запад в Гардарики (Новгородская Русь), а затем на юг в Страну Саксов. У него было много сыновей. Он завладел землями по всей Стране Саксов и поставил там своих сыновей правителями. Затем он отправился на север, к морю, и поселился на одном острове. Это там, где теперь называется Остров Одина на Фьоне (о. Фюн)...*

*Один поселился у озера Лег, там, где теперь называется Старые Сигтуны (вероятно, Стокгольм), построил там большое капище и совершал в нем жертвоприношения по обычаю Асов..."*

*3. Трое из божественных эддических асов в прошлом - ваны (Ньёрд, Фрейр, Фрейя). Фрейр - бог света и плодородия, у него священное животное - кабан. У восточных славян ему соответствует бог света и плодородия Даждьбог, а у западных - бог света и плодородия Радегаст (оба Сварожичи). Храм Радегаста был почитаем не только славянами, но и германцами, именно оттуда Ретринские фигурки с руническими письменами."*

*...обменялись заложниками... Ваны дали своих лучших людей, Ньёрда Богатого и сына его Фрейра, Асы же дали в обмен того, кто звался Хёниром, и сказали, что из него будет хороший вождь. Он был большого роста и очень красив. Вместе с ним Асы послали того, кто звался Мимиром, очень мудрого человека, а Ваны дали в обмен мудрейшего среди них. Его звали Квасир. Когда Хёнир пришел в Жилище Ванов, его сразу сделали вождем. ...Один сделал Ньёрда и Фрейра жрецами, и они были диями у Асов. Фрейя была дочерью Ньёрда. Она была жрица. Она первая научила Асов колдовать, как было принято у Ванов".*

*4. Венедская руническая система, использованная на Ретринских изображениях и Микоржинских камнях (об этом подробнее см. ниже по тексту) включает часть рун футарка, а половина знаков велесовицы (как показано на рисунке 1.) входит в рунические системы древних германцев.*

*5. Руны Фрейра Ингуз и Дагаз многократно повторяются на браслетах вятичей и славянской вышивке [16].*

*6. Фрейя - одна из асине, по роду из ванов, богиня любви, а у западных славян согласно "Mater Verborum" была богиня любви Прия. Эддическая Скади может быть сопоставлена с западно-славянской Артемидой, что носила имя Скатия - согласно Поучениям против язычества (см. "Слово св. Григория"). О соответствии Одина и Велеса, Фрейра и Радегаста или Даждьбога уже упоминалось.*

*7. Эддический Квасир и Квасур из Велесовой Книги русов - это осмысление одного и того же мифа, восходящего к эпохе арийской общности, приготовлению хмельных напитков типа Хаомы и Сомы на солнце-Сурье. В Младшей Эдде рассказывается о том, что в знак примирения из слюны асов и ванов был создан человек Квасир, вобравший в себя мудрость и тех и других [21, стр.101, 231].*

*8. Ваны - эддические боги, рассматриваются специалистами (М.И. Стеблин Каменский, например [21, стр. 228]) в том числе как боги плодородия. ВЕНЕды (от вено - сноп, отсюда и ВЕНОк) - славяне занимающиеся земледелием. Есть еще ВАНское царство (которое было славяно-иранским).*

Есть и сведения арабских путешественников о государственном образовании вятичей, как о "земле ВАНтит" [22] (кстати, куда более древнем, чем Киевская Русь). Соглашаясь с языком той эпохи, правильнее говорить "вянтичи" или "вентичи" (точно также, как Свентовит, а не Световит). Упоминание о городе или земле Вантит-Вабнит-Ват-Ваит из сочинения Ибн Русте "ал-Алак ан-нафиста" свидетельствует о городе вятичей Ваит "в самом начале пределов славянских", он же назван Вантит в "Зайн ал-ахбар". Из текста Ибн Русте-Гардизи "Худуд ал-Алам" узнаем, что славянский "Вабнит - первый город на востоке и некоторые из его жителей похожи на русов". Арабы дают описание быта славян и природы страны Вантит, которое не оставляет сомнений в отождествлении Вантит и земли вятичей - вenedов, вернувшихся на Дон и Оку с Польского Поморья.

9. У вятичей-венедов, как и у эддических ванов был обычай, когда брат женится на сестре."

Когда Ньёрд был у Ванов, он был женат на своей сестре, ибо такой был там обычай. Их детьми были Фрейр и Фрейя. А у Асов был запрещен брак с такими близкими родичами".

Венеды и германцы пользовались рунической письменностью. Вместе с тем нельзя утверждать, что письмо это принес из Парфии Один. Поход асов скорее всего относится к I в до н.э. : "В те времена правители римлян ходили походами по всему миру и покоряли себе все народы, и многие правители бежали тогда из своих владений." Парфяне пользовались ромейским письмом. И случилось как раз наоборот, асы застали у германцев руническое письмо.

Однако, земной Один, при давно известном начертании рун дал именно их знание, т.е. раскрыл их сакральный смысл, пройдя и основав мистерии Одина."

VI. ...Рассказывают как правду, что когда Один и с ним дии пришли в Северные Страны, то они стали обучать людей тем искусствам, которыми люди с тех пор владеют. Один был самым прославленным из всех, и от него люди научились всем искусствам, ибо он владел всеми, хотя и не всему учил..."[20]

Так или иначе, но уже к концу первого века н.э. согласно Тациту [23] германцы использовали руны в магических целях:"

9. Из богов они больше всего чтят Меркурия (Вотана, т.е. Одина)...

10. Нет никого, кто был бы проникнут такой же верою в приметы и гадания с помощью жребия, как они. Вынимают же они жребий безо всяких затей. Срубленную с плодового дерева ветку они нарезают плашками и, нанеся на них особые знаки, высыпают затем, как придется, на белоснежную ткань. После этого, если гадание производится в общественных целях, жрец племени, если частным образом - глава семьи, вознеся молитвы к богам и устремив взор в небо, трижды вынимает по одной плашке и толкует предрекаемое в соответствии с выскобленными на них заранее знаками.."

В работах А.Платова [14] и Е.Классеня [24] обосновано происхождение футарка и праславянской письменности от северо-италийского, этрусского и венедского рунического строя. Последним наравне с футарком, скорее всего пользовались волхвы Арконы с острова Руян (совр.Рюген) и Венеты-Вольни (совр. Волин) или Выжбы (совр.Готланд). Им же, т.е. этой письменной школой, были сделаны надписи на фигурах храма Радегаста и Микоржинских камнях.

Бронзовые изображения богов лютичей и ритуальные предметы из Ретринского храма Радегаста были найдены в земле деревни Прильвиц в конце 17 века, затем их приобрел немец Андреас Готтлиб Маиш, подробно описал и заказал гравюры. В 1771 году в Германии им были изданы материалы, копии которых каждый может найти в Ленинской библиотеке. Затем его коллекция была утеряна при таинственных обстоятельствах. В 1795 году в Гамбурге поляк Яков Потоцкий описал еще одну партию предметов из Храма Ретры.[25,26]

Итого описано около восьмидесяти фигурок и предметов. Большинство изображений языческих богов имеют ноги и руки, и ничем не уступают по качеству античным изображениям.

Фигурки сильно оплавлены - известно, что Великий Храм Радегаста был стерт с лица земли императором Лотарем на радость всему христианскому миру и тем, кто отрицает до сих пор наличие высокой культуры у славян до Р.Х.

Подлинность бронзовых фигурок уже тогда не вызывала сомнений. Первыми признали подлинность, заметьте, западные специалисты. Вызывали сомнения рунические надписи на них, поскольку содержали массу рун, отличных от рун как Старшего так и Младшего Футарка. Большинство надписей до сих пор не прочитаны, но среди них наиболее часто встречаются слова RHETRA и RADEGAST. Причем имя Радегаста стоит на фигурке, описание которой в точности совпадает с тем, как представляли Митру иранцы. Есть и еще одна статуя. Которая идентифицируется либо с Велесом, либо со Стрибой.[27, 28]

Спрашивается, зачем писать имена на богах?

Но об этом сообщал еще в 1018 году Дитмар, епископ Межиборский (Титмар Мерзебургский): "В земле ретарей есть город по имени Riedegost. В городе нет ничего, кроме храма, искусно построенного из дерева. Стены его извне украшены чудесной резьбой, представляющей образы богов и богинь. Внутри же стоят стоящие рукотворные боги,... на каждом нарезано его имя. Главный среди них - Сварожич.". Адам Бременский и Гельмольд также писали и о городе Ретре(Радегасте) и о Храме в нем.

В 1836 году были найдены Микоржинские камни, которые содержали надписи почти теми же рунами, таким образом вопрос о подлинности больше не стоит. Подавляющим большинством западных ученых этого века и русскими учеными (например Е.Классень который был знаком с работами Маиша и Потоцкого) прошлого века и славяно-рунические надписи и фигурки признаны подлинными, несмотря на то, что предметы сильно оплавлены.

И скандинавские и словенские жрецы, скальды и волхвы, практиковали магию. Руны, особенно Старшие, обладают свойством симметричного преобразования - поворота. При этом меняется их сакральный смысл, но произношение- вряд ли. Кроме того руны накладывались при письме одна на другую- связывались или переплетались [16, 29]. Два этих эффекта увеличивают при сравнении число рунических знаков велесовицы до 16 (из 31) достоверных (рис.1). На рисунке в первой колонке - велесовица (полурунические графемы Велесовой Книги). Во второй колонке - скандинавские руны, в третьей колонке указано название рун и руническая система для них. У меня нет сомнений, что велесовица, как и руны, применялась для магических целей. По-видимому часть протографа Велесовой Книги служила и этим целям (в особенности те дощечки, что именуются "Прославление Великого Триглава").

Миролюбов и Куренков, ближе всех стоящие к протографу, не понимали из-за плохой сохранности дощечек и скверного качества фотографий часть знаков на них (Изенбек не разрешал выносить находку из своей мастерской). Они могли использовать при переписке 4 известных им более поздних символа, вставив их по смыслу. Копии Велесовой Книги у Миролюбова, Куренкова и Ребиндера имеют расхождения. Это лишний раз подтверждает существование дощечек и их фотографий. Куренков переводил и переписывал текст с фотографий независимо от Миролюбова. Последний же работал сначала с самими "дощечкам", а потом со своей прорисью текстов. Т.е. прорись текстов выполнена двумя или тремя разными людьми, а сами дощечки - это тоже творение не одного автора. (Еще бы не было при этом расхождений!)

Можно по-прежнему спорить о подлинности наследия волхвов. Вероятно, в самом ближайшем будущем нас ждут новые сенсационные открытия в области праславянской истории. Может быть, Ингвар Корович (в миру Игорь Власов), герой "Падения Арконы" расшифрует тексты в следующих романах нашего цикла ("Наследники Арконы", "Последний из Арконы или Эликсир памяти") и создаст собственную магическую систему- Магию Воли, следуя тропой своих предков.

Пока единственная копия Велесовой книги Миролюбова - одна из многих подобных книг. К сожалению, это всего лишь сборник, заботливо собранный средневековым хранителем, а не целостная вещь. Будем ждать и надеяться. И конечно, не стоит сидеть сложа руки. Что касается подлинности существующих текстов- это пока вопрос веры каждого, для меня совершенно очевидно, что часть текстов - это подлинник.

---

1. Велесова книга. Перевод и комментарии А.И.Асова. Изд. 2-ое исправленное. -М.:Менеджер, 1995.-320с.

2. Бегунов Ю. Обретение "Велесовой книги"/ в кн.-Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А., Мифы древних славян. Велесова книга.- Сост. А.И.Баженова, В.И.Вардугин.- Саратов, "Надежда", 1993.-320с.

3. Миролюбов Ю. Новгородская дохристианская письменность/ Русский языческий фольклор. В кн. Ю.Миролюбов. Сакральное Руси. 1-2 тт.-М., 1997.

4. Луи Повель, Жак Бержье, Утро магов. Власть магических культов в нацистской Германии.-М.:ИЦ "Российский Раритет", 1992. -76с.

5. Русские Веды. Песни птицы Гамаюн. Велесова книга. Реставрация, перевод, комментарии Б.Кресеня.-М.: Наука и религия, 1992. -368с.

6.58 Щербаков В.И., Встречи с Богоматерью(пер. избр. глав "Лебединой Книги"/ Утро богов, М., 1992

7.58 Грицков В.В., Сказания русов. ч1. Велесова Книга, -М.: "Издательский центр русского исторического общества", 1992.

8.58 Творогов О.В., Велесова книга, ТОДРЛ, т.43, Л., 1990.

9.58 Жуковская Л.П., Новгородские берестяные грамоты, -М.: Учпедгиз, 1959.

10.58 Грицков В.В., Гимн Бояна- древнеславянский рунический текст / Мифы и магия индоевропейцев, Сб., вып.1. -М.: Менеджер, 1995.

11.58 Боянов гимн Словену, "Наука и религия",N4, 1995.

12.58 Державин Г. О лирической поэзии в кн.: Чтение в Беседе Любителей русского слова, кн.6. Спб., 1812 г.

13. Тороп В., Ладожский рунический документ / Мифы и магия индоевропейцев, вып 2., -М., Менеджер, 1996.

14. Грицков В., Велесова Книга: подделка или отзвуки далекого прошлого? / Мифы и магия индоевропейцев, Сб., вып.3. -М.: Менеджер, 1996.

15. Старшая Эдда, пер. А.Корсуна/ Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. -М.: "Художественная литература", 1975.

16. Платов А., Руническая магия.-М.: Менеджер, 1994.-144с.

17. Платов А., Дорога на Хай Бразил или индоевропейский миф о структуре мира/ Мифы и магия индоевропейцев, Сб., вып.1. -М.: Менеджер, 1995.

18. Гаврилов Д., Один-Велес-Шива - великий бог индоевропейцев/ Елкин С., Протоязык и традиционализм. Пути реконструкции. -М.: МГИФИ, 1997, -96 с.

19. Гаврилов Д.А., Платов А.В., К основаниям традиционализма через морфологический анализ мифов о Великом боге индоевропейцев // Материалы XV Зигилевских чтений, доклад, 23 марта 1998.

20. Снорри Стурлусон "Круг Земной" (Snorri Sturluson "Heimskringla"), -М.: "Наука", 1980. (Пер., ст., прим.: А.Я.Гуревич, Ю.К.Кузьменко, О.А.Смирницкая, М.И.Стеблин-Каменский).

21. Младшая Эдда. Пер. О.Смирницкой. под ред. и прим. М.И. Стеблин-Каменского, -М.: НИЦ "Ладомир", 1994.

22. Русь глазами восточных авторов/ Гудзь-Марков А.В., История Славян, М., 1997, стр. 134-139.

23. Корнелий Тацит, О происхождении германцев/ Тацит. Соч. Т.1. Аналлы. Малые произведения. -Л.: Наука, 1969.

24. Е.Классень, Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-русовъ до рюриковскаго времени въ особенности..., вып. I-IV, 1854-1861

25. A.G.Masch. Die Gottesdienstlichen Ulfersfumer der Obotriten, aus dem Tempel gu Rhetra. Berlin. 1771.

26. J.Potocki. Voyage dans quelques de la Basse Saxe pour la Recherche des antiquites Slaves ou Veneds. Hambourg. 1795.

27. Платов А., Памятники рунического искусства славян/ Мифы и магия индоевропейцев, вып 6, -М., Менеджер. 1998.

28. Платов А., Культовые изображения из Храма в Ретре/ Мифы и магия индоевропейцев вып. 2, -М., Менеджер. 1997.

29. Адити А., Адити Е., Руны. Толкование Старшего Футарка/ Издательство Общества духовной и психической культуры, 1993.-98с.

Слава триглаву!

//-- 11а-II [1 - Цифрой I обозначены дощечки, опубликованные С. Лесным в Канаде в 1966 г. Цифрой II – тексты, опубликованные Куренковым в журнале «Жар-птица», в котором Ю. П. Миролюбов был редактором. Цифрой III – тексты из архива Миролюбова, опубликованные Скрипником после смерти Миролюбова.] --//

«И вот начните,  
во-первых, – главу пред Триглавом склоните!»  
– так мы начинали,  
великую славу Ему воспевали,  
Сварога – Деда богов восхваляли,  
что ожидает нас.

Сварог – старший бог Рода божьего [2 - Сварог – единый небесный бог, дед богов, он же – Триглав, Троица, Вселенная.]

и Роду всему – вечно бьющий родник,  
что летом протек от кроны,  
зимою не замерзал,  
живил той водою пьющих!  
Живились и мы, срок пока не истек,  
пока не отправились сами к Нему  
ко райским блаженным лугам!  
И Громовержцу – богу Перуну,  
Богу битв и борьбы  
говорили:

«Ты, оживляющий явленное,  
не прекращай колеса вращать!  
Ты, кто вел нас стезею правой  
к битве и тризне великой!»

О те, что пали в бою,  
те, которые шли, вечно живите вы  
в войске Перуновом!  
И Свентовиту мы славу рекли,  
он ведь восстал богом Прави и Яви!  
Песни поем мы Ему,  
ведь Свентовит – это Свет.  
Видели мы через Него Белый Свет.  
Вы посмотрите – Явь существует!  
Нас Он от Нави оберегает —  
Мы восхваляем Его!

Пляшущего мы воспевали,  
к нашему Богу зывали мы,  
ибо тот Бог – Землю нашу носил,  
звезды держал,  
Свет укреплял.

Славу творите во всем Свентовиту:

«Славу Богу нашему!»

Скорбите же сердцем нашим —  
этим вы смели отречься  
от злого деяния нашего,  
и так притекли к добру.

Пусть обнимаются дети!

И говорите:

«Все сотворенное  
не может войти в расторгнутый ум!»

Чувствуйте это, ибо лишь это умеете,  
ибо тайна та велика есть:  
как Сварог и Перун —  
есть в то же время и Свентовит.  
Эти двое охватывают небо,  
сражаются тут Чернобог с Бедобогом  
и Сваргу поддерживают,  
чтоб не был повержен тот бог Свентовит.  
За теми двумя – Велес, Хорс и Стрибог.  
Затем – Вышень, Леля, Летеница.

//-- 116-II --//

Затем Радогощ, Крышень и Коляда,  
за ними – Удрзец, Сивый Яр и Дажьбог.  
А вот Белояр, Ладо, также Купала,  
и Синич, и Житнич, и Венич,  
и Зернич, Овсенич, и Просич,  
и Студич, и Ледич, и Лютич. [З - Белояр, Ладо, Купала, Синич, Житнич, Венич, Зернич,  
Овсенич, Просич, Сгудич, Ледич, Лютич – названия месяцев и имена богов, приходящих в  
эти месяцы и покровительствующих явлениям природы.]

За ними вслед Птичич, Зверинич, и Милич,  
и Дождич, и Плодич, и Ягодинич,  
и Пчелич, Ирестич, и Кленич,  
Озернич, и Ветрич» Соломич,  
и Грибич, и Лович, Беседич,  
и Снежич, и Странич, и Свендич»  
и Радич, Свиетич, Корович,  
и Красич, и Травич, и Стеблич.  
За ними суть —  
Родич, Масленич, и Живич,  
и Ведич, и Листвич, и Цветич,  
И Водич, и Звездич, и Громич,  
и Семич, и Липич, и Рыбич,  
Березич, Зеленич, и Горич,  
и Страдич, и Спасич, Листвеврич,  
и Мыслич, и Гостич, и Ратич,  
и Стриничь, и Чурич – Родич,  
и тут Семаргл-Огнебог —  
он чистый и яростный, быстро рожденный.  
То суть – Триглавы всеобщие.  
Сюда ты придешь,  
и тут же служитель ворота откроет,  
и пустит сюда —  
в прекрасный сей Ирий.  
Течет Ра-река там,  
та, что разделяет небесную Сваргу и Явь.  
И Числобог наши дни здесь считает.  
Он говорит свои числа богам,  
быть дню Сварожьему, быть ли ночи.  
И дни отсекает,  
поскольку он – явский»

он сам в божьем дне.  
В ночи ж никого нет,  
лишь бог Дид-Дуб-Сноп наш.  
Славься, Перун – бог Огнекудрый!  
Он посылает стрелы в врагов,  
верных ведет по стезе.  
Он же воинам честь и суд,  
праведен Он – златорун, милосерд!

//-- 7e – II --//

Как умрешь,  
ко Сварожьим лугам отойдешь,  
и слово Перуницы там обретешь:  
«То не кто иной – русский воин,  
вовсе он не варяг, не грек,  
он славянского славного рода,  
он пришел сюда, воспевая  
Матерь вашу,  
Сва Матерь нашу, —  
на твои луга,  
о великий Сварог!»  
И Сварог небесный промолвит:  
«Ты ступай-ка, сын мой,  
до красы той вечной!  
Там увидишь ты деда и бабу.  
О, как будет им радостно, весело  
вдруг увидеть тебя!  
До сего дня лили слезы они,  
а теперь они могут возрадоваться  
о твоей вечной жизни  
до конца веков!  
Той красе ты еще не внимал,  
ибо вои Ясуни не знали (?).  
Вы же все не такие, как греки,  
вы имели славу иную  
и дошли до нашего Иррия,  
здесь цветы увидели чудные,  
и деревья, а также луга.  
Вы должны тут свивать снопы,  
на полях сих трудиться в жатву,  
и ячмень полоть,  
и пшено собирать  
в закрома Сварога небесного.  
Ибо то богатство иное!  
На земле вы были во прахе  
и в болезнях все, и в страданиях,  
ныне ж будут мирные дни».  
Мы стояли на месте своем  
и с врагами бились сурово,  
и когда мы пали со славою,  
то пошли сюда, как и те.

И вот Матерь Сва бьет крылами  
по бокам своим с двух сторон,  
как в огне вся сияя светом,  
И все перья Ее – иные:  
красные, синие, рыже-бурые,  
желтые и серебряные,  
золотые и белые.  
И так же сияет, как Солнце-царь,  
и идет Она близ ясуни,  
и так же сияет седьмой красой,  
завещанной от богов.  
И Перун, увидев Ее, возгремит  
громами в том небе ясном.  
И вот это – наше счастье,  
и мы должны  
приложить все силы,  
чтоб видеть,  
как отсекают  
жизнь старую нашу от новой,  
так точно, как рассекают  
дрова в домах огнищанских.  
И Матерь Слава  
крылами бьет.  
Идем мы под наши стяги,  
и это – стяги ясуни!

Исход из Семиречья

//-- 8/2-III --//

Вот прилетела к нам птица, и села на дерево, и стала петь, и всякое перо ее иное, и сияет цветами разными. И стало в ночи, как днем, и поет она песни о битвах и междуусобицах. Вспомним о том, как сражались с врагами отцы наши, которые ныне с неба синего смотрят на нас и хорошо улыбаются нам. И так мы не одни, а с отцами нашими. И мыслили мы о помощи Перуновой, и виде-ли, как скачет по небу всадник на белом коне. И поднимает Он меч до небес, и рассекает облака и гром гремит, и течет вода живая на нас. И мы пьем ее, ибо все то, что от Сварога, – то к нам жизнью течет. И это мы будем пить, ибо это – источник жизни божьей на земле.

И тут корова Земун пошла в поля синие и начала есть траву ту и давать молоко. И потекло то молоко по хлябям небесным, и звездами засветилось над нами в ночи. И мы видим, как-то молоко сияет нам, и это путь правый, и по иному мы идти не должны.

И было так – потомок, чувствуя славу свою, держал в сердце своем Русь, которая есть и пребудет землей нашей. И ее мы обороняли от врагов, и умирали за нее, как день умирает без Солнца и как Солнце гаснет. И тогда становилось темно, и приходил вечер, и вечер умирал, и наступала ночь. А в ночи Велес шел в Сварге по молоку небесному, и шел в чертоги свои, и к заре приводил нас до врат (Ирия). И там мы ожидали, чтобы начинать петь песни и славить Велеса от века до века, и храм Его, который блестит огнями многими, и стояли мы (пред Богом), как агнцы чистые.

Велес учил праотцов наших землю пахать, и злаки сеять, и жать солому на полях страдных, и ставить сноп в жилище, и чтить Его как Отца божьего.

Отцам нашим и матерям – слава! Так как они учили нас чтить бо-гов наших и водили за руку стезей правой. Так мы шли, и не были нахлебниками, а были русскими славянами, которые богам славу поют и потому – суть славяне.

//-- 9a-I --//

В те времена был Богумир – муж Славы, и имел он троих дочерей и двух сыновей. Они привели скот в степи и там жили среди трав, как и во времена отцов. И были они послушны богам, и имели разум, все схватывающий.

И там мать их, которую звали Славуня, им приготавливала все необходимое. И сказала она Богумиру на седьмой день: «Мы должны выдать своих дочерей замуж, чтобы увидеть внуков».

Так сказала она, и запряг Богумир повозку и поехал, куда глаза глядят. И доехал до дуба, стоящего в поле, и остался ночевать у костра. И увидел он в вечерних сумерках, что к нему подъезжают три мужа на конях. И сказали они:

– Здрав будь! Что ищешь ты? И поведал им Богумир о печали своей. А они ему ответили, что сами – в походе, дабы найти себе жен. И вернулся Богумир в степи свои и привел трех мужей дочерям. Отсюда начало трем родам. И соединились они, и славны были. Отсюда идут древляне, кривичи и поляне, ибо первая дочь Богумира имела имя – Древа, а другая – Скрева, а третья – Полева.

Сыновья же Богумира имели имена – Сева, и младший – Рус. От них идут северяне и русы. [4 - По мнению историка В. В, Седова, это одно из славянских племен, скифо-сарматского, иранского происхождения, что опровергает норманнскую версию происхождения Руси, берущую начало в «Повести временных лет».] Три же мужа были, все три – Утренник, Полуденник и Вечерник.

Создались роды те в Семиречье [5 - Семиречье – область между озерами Балхаш, Сасыколь, Алаколь и Джунгарским Алатау.], где мы обитали за морем в крае зеленом, когда были скотоводами. И было это в древности до исхода нашего к Карпатской горе. И было это за тысячу триста лет до Германареха. И в те времена была борьба великая за берега моря Готского, и там праотцы наши возводили курганы из белых камней, под коими погребли мы бояр и вождей своих, павших в сече.

//-- 96-I --//

Мы пришли из края зеленого к Готскому морю, и тут растоптали готов, которые были преткновением на нашем пути. И так мы бились за эти земли и за жизнь нашу. А до этого были отцы наши на берегах моря у Ра-реки (Волги). И с великими трудностями для нас мы переправили своих людей, и скот на сей берег, и пошли к Дону, и там готов увидели на юге и Готское море. И увидели мы против себя вооруженных готов и так были принуждены биться за жизнь и проживание свое, когда гунны шли по стопам отцов наших и, нападая на них, людей били и забирали скот.

И так род славен ушел в земли, где солнце спит в ночи, и где много травы и тучных лугов, и где реки от рыб полны, и где никто не умирает.

Готы же были тогда в крае зеленом и немного опередили отцов на-ших, идущих от Ра-реки, Ра-река – великая, она отделяет нас от иных людей и течет в море Фасисте (Каспийское). Тут муж рода Белояру перешел на ту сторону Ра-реки и упредил там синьских куп-цов, идущих к фряженцам, поскольку гунны на острове своем поджидали гостей-купцов и обирали их.

И было это за полстолетия до Алдореха. А еще раньше, в древности, род Белояров был сильным. И от гуннов торговцы прятались за мужами Белояровыми и говорили, что дают серебро и два коня золота, чтобы пройти и избежать угрозы гуннской, и так пройти мимо готов, также суровых в битве, и дойти до Днепра. И кони у них бесчисленны, и дважды берут они дань. Из-за того купцы, стекавшиеся к нам, вернулись в Китай и не приходили уж никогда более.

//-- 5a-I --//

Вот жертва наша – это мед Сурья о девяти силищ, людьми на Солнце-Сурье оставленный на три дня, затем сквозь шерсть проце-женный. И это – есть и будет нашей жертвой богам истинной, какую суть наши праотцы (давали). Ибо мы: происходим от Дажьбога, и стали славны, славя богов наших, и никогда не просили и не молили их о благе своем. И вот боги говорят нам: «Ходите по Руси и ни-когда к врагам!»

Матерь Сва [6 - Матерь Сва – на санскрите «Сама Матерь» – Великая Матерь.] славу поет нам, чтобы мы воспевали походы на врагов, и мы верили ей, так как эта слава (исходит) от птицы вышней, по небу России летящей от нас. И вот князя нашего избрали, чтобы он заботился о нас. Так как перейдет враг на границу нашу, если он ее не будет оберегать, созывая рать.

А какие мы сами – то Сноп знает, так как мы молили, славу вознося, но никогда не просили Его, и никогда не требовали с Него то, что необходимо нам для жизни.

И вот смотрите на отца нашего Орея, по облакам ходящего, восхищающегося силою кованья Перунова. И видел там Орей, как Перун ко-вал мечи на врагов. И Он говорил ему во время кования: «Вот мы имеем стрелы и мечи на воинов тех. И не смейте их бояться, так как повергнут они очи долу, и (число) воинов у них будет уменьшено до количества пальцев на руках, так как к земле они согнутся, и станут зверями, как поросята, измазанные грязью, и смрад свой понесут по следам своим. И будут говорить о них, что они – смрадные поросята и свиньи!»

Так говоря, Перуныко ковал мечи. И Орей об этом говорил, и то Орей поведал отцам нашим. И такова была наша борьба за жизнь и бои витязей много веков назад. А ныне поверили, будто все было не так.

//-- За-II --//

Мы молили Велеса, Отца нашего, чтобы Он пустил в небо коней Сурьи, чтобы Сурья взошла над нами вращать вечные золотые колеса. Ибо она и есть наше Солнце, освещающее дома наши, и пред ним бле-ден лик очагов в наших домах. И сему богу Огнику Семарглу говорим мы: «Покажись и восстань на небесах и свети аж до мерцающего рассвета!» Мы называем его по имени Огнебоже и идем трудиться. И так всякий день, сотворивши молитву и удовлетворивши тело едой, идем в поля наши трудиться, как боги велят всякому мужу, которому предназначено работать ради хлеба своего. Дажьбоговы внуки – любимцы божеские, и, божий плуг в деснице держа, воспеваем мы славу Сурье, и думаем об этом до вечера. И пять раз в день прославляем мы богов, и выпиваем сурицу в знак благодати и общности с богами, которые во Сварге также пьют за наше счастье.

Как воспоем славу Сурье, так золотой конь Сурьи вскочит на не-беса. А когда мы приходим домой, потрудившись, там огонь зажигаем и идем ужинать. Говорим, что есть любовь божеская к нам, и затем мы отходим ко сну, ибо день прошел, и настала тьма. Так отдавали мы десятую часть отцам нашим и сотую – властям. И так мы пребы-ваем славными, ибо славим богов наших и молимся с телами, омытыми чистой водой.

//-- 10-II --//

Богумиру же боги давали земные блага, и их мы не имели. И было у нас по-иному. Старшего в роде мы избирали в князья, который в старое время становился нашим вождем, нанятым в тот раз всеми. Те же князья были долгое время, пока греки не пришли, и не настал этому конец, и (ныне) мы должны обеспечивать из (княжьего) рода потомков, чтобы они правили нами.

А после Богумира был Орей с сынами. А когда гунны затеяли вели-кую войну за образование своей великой земли, мы ушли вон оттуда на Русь.

Ныне пришли иные времена, и мы должны браться за гужи и тянуть вперед. И не будет о нас сказано, что мы оставили наши земли и взяли иные, но скажут о нас, что мы сильно бились за себя. Борусичи не оставили грекам земли свои и бились за них. В те времена Ра-река (Волга) была границей с иными землями, и тогда возжаждали враги наши идти на нас, и должны мы были бороться за внучат наших, чтобы удержать степи наши и не отдать землю иным. Так же и мы должны были делать, чтобы не сжигать дубы и поля свои, а сеять на них и жать жниву в полях, ибо имели мы степи травные и должны были водить скот, оберегая его от врагов.

//-- 26-III --//

И был в те времена осевший огнищанин. И был он благ, и боги дали ему много овец и скота, пасущегося в степях. И было (в степях) много травы, и боги давали его скоту приплод и умножали его. И вот предстал пред его очами странник и сказал ему, чтобы его сыны пошли в землю иную в край чудесный – туда, где заходит Солнце, туда, где оно спит на золотом одре. И когда прискачет ту-да всадник, он скажет Солнцу:

«Иди, Солнце, в свои синие луга. Ты должно подняться в колесни-цу свою и взойти с Зарей на Востоке И, так сказав, скачет он в иные края. И вечер прискакивает вслед за ним. И этот всадник го-ворит: «Солнце зашло за горы свои и покинуло свою золотую колесницу. И ее ворожеи желают утаить». И тут приближается всадник, скачущий в иные края. И так Заря идет, и несет искры свои, и одежды Дажьбоговы трясет, и искры разлетаются до края небесного. Так он сказал. И тогда двое сыновей пошли туда, куда заходит солнце, и видели они там много чудес и злачные травы. И возвратились к отцу и сказали ему, как прекрасен тот край.

И многие племена, и роды изъявили желание следовать по тропе той, и пришли они все к тому осевшему (огнищанину).

И тут приказал отец Орей сыновьям своим быть впереди всех ро-дов. И не захотели они делиться на этих и тех. И тогда князь единый повел своих людей на полдень – отец Орей повел их в край морской. И была там сушь великая и пустыня. И пошли они в горы, и там поселились на полвека, и собрали большую конницу, прежде чем идти в края чужие.

И в тех краях воины встали на их тропе, и они принудил? их сра-жаться и были разбиты. И тогда они поили дальше, и увидели теплые земли, и пренебрегли ими, так как многие чужие племена там сиде-ли. И шли они дальше.

И так боги вели их как своих людей. И добрались они до горы великой. И, повоевав там с врагами, двинулись далее. И с тех пор мы должны были помнить об этом и тянулись за своими, и так же, как отцы наши, очищались мольбой, омываясь, и, умываясь, мольбы творили о чистоте души своей и тела, поскольку это умывание установил для нас Сварог, и Купалец указывал нам на это. И мы не смели этим пренебрегать, к мыли свои тела, и умывали дух свой в чистой воде живой.

И шли мы трудиться, и всякий день мольбы творили, и сурью пили, которую прежде брали. И ее пили пять раз в день и хвалили богов наших радостно, потому что сурья – молоко наше и пропитание наше, и корм, который идет от Коровы к нам, и тем мы живем, и травы злачные варим в молоке, и принимаем каждый свою часть.

И тогда приходили мы к синей реке, стремительной, как время, а время не вечно для нас, и там видели пращуров своих и матерей, которые пашут в Сварге, и там стада свои пасут, и снопы свивают, и жизнь имеют такую же, как наша, только нет там ни гуннов, ни эллинов, и княжит там Правь. И Правь эта истинная, так как Навь совлечена ниже Яви. И это дано Свентовитом, и пребудет так во ве-ки веков.

И это Заребог шел в этот край и говорил нашим пращурам, которые жили на этой земле и страдали повсюду, где приходилось быть и где пережили много зла. И здесь они не имеют зла, они видят зеленые травы. И внимают шелестам по воле божьей, и это счастье для тех людей.

И так мы должны будем увидеть степи райские в небе синем. И эта синь идет от бога Сварога. И Велес идет там править стадами, и ступает по золоту и живой воде, и никому там не надо платить дань, и нет там рабов, и жертву приносят, которую неверные не знают, – дают для моления виноград, и мед, и зерно.

И так провозглашали мы славу богам, которые суть – отцы наши, а мы – сыны их. И будем достойны их чистотой телес и душ наших, ко-торые никогда не умрут. И не умирают они в час смерти наших тел. И падшему в поле Перуница давала выпить воду живую. И выпивший ее отправлялся к Сварге на белом коне. И там Перуныкко его встречал и вел в благие свои чертога. И там он будет пребывать в это время, и достанет себе новое тело, и так станет жить, радуясь и творя молитвы за нас ныне, и присно, и от века до века.

Когда Сурья сияет, мы поем хвалу богам, а также, огненному Перуну, которого называем губителем-потятичем на врагов. И провозглашаем великую славу отцам нашим и дедам, которые сейчас во Сварге. Скажем так трижды и поведем стада свои на разнотравье. А если надо вести скот в иные стели, идем, другую хвалу богам вознося. Славу поем до полудня и возглашаем великую славу Хорсу зла-торунному, коловращающему Сурью. Пьем ее до вечера, а вечером, если костры сложены, – зажигаем их, и славу вечернюю поем Дажьбо-гу нашему, которого называем прадедом нашим, и идем мыться, чтобы быть чистыми, и, совершив омовение, отойдем ко сну – и там мы будем объаты великим ничто.

//-- 1a-I --//

Это беспокойная совесть наша причиной тому, что мы своими словами обличаем деяния. И так говорим во истину благое о роде нашем и не лжем!

И ту истину рассказываем о первом господине нашем – с него пош-ли князи избираемые и сменяемые. Киська же тот шел, и вел родичей по степям со скотом своим на полдень, и туда, где солнце сияет, прибыл. И, придя к нему, отец Орей сказал: «Мы оба имели детей, и мужей, и жен. А старшие имели войны с врагами. И так решали, что-бы племена соединяли овец своих и скот и становились племенем единым. И это же боги предлагают нам. Мы же видели доблесть их с тех пор и во веки вечные».

А когда подсчитывать стали (голоса), одни – рекли, чтобы быть едиными, другие рекли – иначе. И тогда отец Орей отвел стада свои и людей от них. И увел их далеко и там сказал: «Здесь мы воздвигнем град. Отныне здесь Голунь [7 - Голунь – название города и места в скифских степях. Археолога считают, что Голунь – это так называемое Бельское городище на реке Ворскле – притоке Днестра, где жили гелоны.] будет, которая прежде была голой степью и лесом».

И Киська ушел прочь. И также увел людей своих в иные места, чтобы не смешались они с людьми отца Орея.

И те предки наши, так сотворив, на землях тех осели. И так Киська отошел со своими людьми и создал землю иную. И там посели-лись они, и таким образом отделились и отмежевались, и решили быть чуждыми один другому. Все они хлеб и соль имели и не перечили друг другу. И был Киська тот славен, и люди отца Орея славны, так как в ту пору слава текла к ним и поля знали их мечи и стрелы.

//-- 1б-I --//

И пришли язи в его край, и начали забирать скотину. И тогда Кисек напал на них. Бился с ними сначала день, потом второй, и люди его бились. И грех пришел в те места, и многие ели останки, и людей убивали мечами.

И так сказал отец Орей: «Грешим мы с родичами своими, и потому от мертвых черно и мертвечину едят, что мы сдерживаем себя». (?) И стало мерзко на сердце Ориевом, и возопил он родичам: «Поддержите Кисека и людей его! Седлайте все коней!» И тогда бросились все на язов и бились с ними до тех пар, пока не разбили их. И тут начали ведать истину, что мы имели силу лишь, когда были вместе – тогда никто не мог одолеть нас. То же истинное, что нас не одолели обоих, ибо мы – русские и себе славу получили от врагов, проклинающих нас.

Они же, видя житье наше, искушались взять братьев наших, и серебро с наших мечей, и гончарные горшки, из которых их сыны ели бы. Но житье наше в степях до конца нашего! Нам предрекали они иную жизнь, а сами нужды в Свете не имеют.

И эта слова наши – суть истина, а их слова ложны, ибо они ложь говорят и не внимают (истине).

//-- 7a-I --//

Кисек (обращался) к людям своим перед нападением, и они возненавидели врагов, и пошли на них, и победили. И это мы имели знак того могущества, которого не могла дать явь врагам. Сами мы были слабыми – и так получили большую силу, а враги не такую большую, ибо мы – русские, а врага – нет.

И там, где пролита кровь наша, – там и земля наша. И это враги знают. И так они стремятся (захватить землю). Но их старания к смерти приведут, как это было в старину во времена отцов наших. Говорили мы эти слова наизусть, и ни одно слово из тех слов не было утрачено. И говорили мы братьям нашим, что сила божеская будет на вас, и вы окончательно победите врагов ваших, которые хотят ваших земель. И тогда они уста свои наполнят, полакав жидкой грязью, и не будут браниться.

Будьте сынами своих богов, и сила их пребудет на вас до конца! Не имели мы хлеба, чтобы насытить наше чрево, ибо он сожжен огнем. И коровы наши страдали, так же как и мы, пока быстро мы не охватили юг сталью и не стали сильнее врагов наших.

//-- 4г-II --//

И тот Орей, старый отец, сказал: «Идем из земли той, где наших братьев убивают. А то они и старого отца забьют, как забивают коров и зверей. Они и скотину нашу крадут, и детей убивают». Как только старый отец это изрек, мы ушли в иные земли, в которых течет мед и молоко. И эти земли искали все три сына Орея. И это были – Кий, Пашек и Горовато, от коих истекли три славных племени. (...) сыновья были храбрыми, водили дружина, садились на коней и ехали... И за ними шли дружины юношей, скот, коровы, повозки с запряженными в них быками... овцы... дети, охраняемые старцами, а также больные люди. Так шли на юг к морю и мечами разили врагов, шли до горы великой, до долины с травами, где много злаков. И там освоился Кий, который начал обустроивать Киев, ставший русским... вести... пренебрегли злом, и пошли туда, куда Орей говорил... коровы есть... и кровь наша просто...

Русичи, не слушайте врагов, которые говорят недоброе... отец Орей, идем...

//-- 7з-II --//

Так говорим мы, что имеем прекрасный венец нашей веры и не должны мы принимать чужую. И тут князь наш говорил, что мы должны идти к ясуни боярской, чтобы мы предохранили ее от вражеской победы. Рано или поздно наступит время последнего конца, и пусть мы будем иметь силу нашу во степи Матери Солнца.

Она стережет нас (?) и крылья распускает во все стороны, а тела (наши) в середине, и голова ясуни на плечах в венце славном, она не может ее лишиться в сече. Голова (Матери) Сваясунь, и уберегали ее до этого дня. И когда чехи (пошли) к закату солнца с воинами своими и хорваты забрали своих воинов, тогда некоторая часть чехов поселилась с русскими, а также их земля не отделилась, и с ними образовалась Русколань.

Кий же уселся в Киеве. И мы ему подчинились, а с ним Русь собралась воедино, а если будет с нами иная сила (?), то не пойдем на нее, потому что она с Русью.

//-- 15б-II --//

Вначале мы были там, где заходит Солнце, а оттуда пошли к Солнцу до Непры-реки (к Днепру), и взял там Кий укрепленный град, в котором пребывали иные славянские роды. И там мы поселились, огни, зажигая Дубу и Снопу, которые и есть Сварог – пращур наш. И в тот раз напал на нас новый враг, который в этой сечи кровь пращуров наших пил. И рати свои устремил на них Кий, увидя вражеских воинов. И воины Перуна бросились на них, и тратили силу до тех пор, пока те не побежали, показывая свои зады.

И вот племя язов напало на нас, и сеча была великая, и похищено было все до последнего. И видя это, наши воины говорили: «Боги наши прогонят врагов наших, ибо Вышень грядет на смертных!» И говорил он нам: «Дети, огораживайте свои города от нападений, чтобы были они суровыми и крепкими! И это Сварог посылает меня к вам... чтобы сила небесная была с вами... также говорил вам... бережет...».

//-- 2б-I --//

И вот отец Орей шел перед нами, а Кий вел русов, и Щек вел свои племена, а Хорев своих хорват, и шли они из земель тех. И так было внушено богами, когда отошли Хорев и Щек отсюда, чтобы мы сели в Карпатских горах. И там были другие города, построенные иными, и нажили иные соплеменники богатство великое.

И вот враги напали на нас, и мы побежали к Киеву-граду и до Голуни, и там поселились, огни свои возжигая до Сварги и жертвы творя в благодарность богам и также себе.

И тут Кий умер, тридцать лет владев нами. А после него был Лебедян, его же называли Славен, и тот жил двадцать лет. Потом был Верен из Великограда – также двадцать. Затем Сережень – де-сять.

С теми львами побеждали витязи врагов, несшихся лихими тысячами-тьмами на сынов наших и грядущих на нас и на вас.

И тут готы пришли в степи, зло, творя нам. И тогда доблесть получили праотцы наши, боясь за жизнь. И стали славянами, ибо славили богов. И так мы – от богов внуки Сварога нашего и Дажьбога. И тогда мы терпели зло, а прежде силу имели великую и защищались от нашествия готов-врагов почти шесть лет.

И тут ильмеры нас поддержали, и мы побили вражеских витязей. И так десять царей взяли – тех, что были как волки, принявшие львиную храбрость. Когда мы на них напали, те начали хитрить: «Мол, мы – иные!» И для иной брани они мечи сохранили, и стали менять овец и овощи, и клялись (?) самим небом.

//-- 2а-I --//

Предрешиено было в старые времена, чтобы мы сплотились с иными и создали (Русколань?) великую. Рождена была Русколань наша близ Голуни, где стало у нас триста городов и сел – дубовых домов с очагами. Там и Перун наш, и земля наша. И вот птица Матерь Сва поет о дне том. И мы со всеми ждали время оное, когда завращаются Сварожьи колеса у нас. Это время после (песни?) Матери Сва наступит. Говорили мы Матери Сва, когда терпели беды: «Хорошо обороняй землю нашу!» Вендов, которые ушли на запад Солнца и там перед врагами землю пашут и шаткую веру имеют, всегда побеждают из-за иной веры. Боровин же говорил, что он силен, и люди его верят словам тем. А иные сами глупцы изумленные и не верили в это до тех пор, пока не прозрели.

Венды! Вернитесь на земли наши в степи древние? И поглядите на вспаханные поля, которые были бедными до прихода нашего из Пятиречья (Семиречья?), пока от врагов-дасу нами не были очищены. И птица Сва говорит, когда огонь и смерть несется к нам, превращая Голунь в погорелище: «Боги, поливайте и дождем дождите! Ибо та земля бедная, и разоренная, и конями затоптанная, так как язи за-бирают сыновей ее, протекая на конях по земле».

Это боги сюда в степи посылают демонов-дасу, из-за того, что мы пренебрегаем богами. И мы должны были их слушаться не так, как во времена антов. Те анты многих побеждали мечом, а иные погребены и лежат в домах ваших, которые чужды нам и которые строят по-иному.

## Русичи в Сирии и Египте

//-- 15а-II --//

Принеся в жертву белых коней, ушли мы из Семиречья с гор Ирийских из Загорья и шли век. И так как пришли в Двуречье, мы разбили там всех своей конницей, и (затем) пошли в землю Сирии. И там остановились, а после шли горами великими, и снегами, и льдами, и притекли в степи со своими стадами. И там скифами перво-на-перво были наречены наши пращурь. Правь их охраняла от Нави, ибо в великой борьбе она силы дает отражать врагов.

И вот после этих битв мы пришли к Карпатским горам, и там пос-тавили над собой пять князей, и города и села (строили), и были тесными многими врагами.

//-- 6в-II --//

Эта земля за Явью. Мы решили строить сто городов: Хорсунь и иные, затем возведенные. Но Русколань раздирали смуты, творившиеся на юге, а борусы на севере много претерпели. Потому что (враги) не хотели нашего породнения, чтобы русские роды

соединились. А в Русколани те же два рода оборонялись в Суроже, и звали суренжане русов и борусов на битву и борьбу. И была эта... (суровой?) битва и борьба. И долгая вражда между родами раздирала Русь...

И вот праотцы наши были словно медведи с мечами. И так им в старые времена говорили: делайте железо и берите коней, которые текут от богов к нам.

И так была Русколань сильной и твердой. И было это из-за Перуна, поддерживавшего нас. Сколько раз мы извлекали меч и отражали врагов от себя, ибо вожди Ориевых родов были сильны, как после питья солнечной сурьи.

Было это в старину. В это же время мы не имели единства. И были мы как овца без Велеса... А он говорил нам, что мы должны ходить прямо, и никогда – криво, но мы его не послушали.

Напрасно мы не остерегались, и потому (нас) праотцов забрали – и были угнаны русы Набсуром. И случилось это из-за вражеских (нашествий), и напали на нас отсюда и до светлого моря, и пошли мы клонить головы свои под вражеские бичи. И те сильные (враги) на Русь напали с трех сторон. И наши люди пошли под Набсура-царя. А затем ушли в солнечный Египет. И долго в те годы давали мы дань. Но прошли дни, и русы убежали от Набсура! Ибо (мы) праотцы...

//-- 6г-II --//

...не потекли за ним, а пошли к краям нашим. И там мы сложили песни наши об Индре и Валу. И бились мы, как львы... бились вместе с богами, и к своим богам наших отцов не принуждал никто. Единственно к смеху то, что мы должны были платить подать-мыто, и никогда не смели... если дань терпели.

А князем был тогда Набсур, который нас под себя взял. И мы отдавали ему своих юношей для войны, и тогда мы претерпевали побои палками по половым органам, и чреслам, и щекам, и не могли это стерпеть.

Мы не могли так. И говорили, что это нам не по сердцу. И было это в тот день, когда случилось великое землетрясение, и земля вертелась, и многие возносились к Сварге. И тогда кони и волы ме-тались и ревели. И забрали мы свои стада, и бросились к северу, и спасли наши души. И так, если будем мы хранимы богами, не утратим мы своих сынов, дочерей, а также жен, и будем мы просто передавать им наследство. И не будем мы сметены, потому что не пойдем впереди рати (Набсура). И дань будет наша. Мы ходили, словно потомки псов, и могли быть горды, что не берегли себя.

И вот Магура поет песни свои к сече. И эта птица от Индры изошла, ибо Индра был и пребудет навеки тем самым Индрой, который вместе с Перуном все брани (начинает). И было так, и вещала она правду ярую до полуночи (?). И лучше нам погибнуть, нежели быть под данью и жертвы приносить их богам!

//-- 25-III --//

Были они у Карани, [8 - Карань – небольшой город близ современной Керчи.] и это был маленький город на берегах морских русских. И там был князь, который повелел бить эллинов и отогнать их от Руси. И он снарядил рать и конницу, и пошел на них, и боролся с ними. А эллины плакали о печали своей и просили, чтобы им платить дань. И собирали с них дань-овец на заклятие и вино.

И тогда эллины, видя, что русичи много пьют, решили на них наброситься и побороть их. И пришел волхв на заклятие и брат его Соловей. И они сказали русичам: «Не напивайтесь этими дарами!» Но русичи их не послушали. И вот напились. И в тот день эллины набросились на них и разбили их. И, погибель свою видя, русичи отошли в степи.

И там осели, и силы свои собрали, и пошли обратно на врагов, и победили их, ибо боги нас поддержали, и руки наши укрепили, и мы одержали победу.

И вот бьются враги и так говорят, что они расстригут овец и сами будут тем краем владеть, так как он прекрасный, и они его не отдали. И вот мы Триглаву молились великому и малому. И тот Триглав предостерегал нас, и быстро он скакал на коне, врагов поражая. И мы увидели то, что боги берут верх над врагами. И увидели, что убитые

богами мертвы. И нам за ними следует убивать и видеть много мертвых тел и то, как великая рать Перунова набросится на них и их разобьет.

И вот Сварожичи слева идут, и принесли они нашу победу в своих руках роду славному, поддерживавшему славу отцов. И до сего дня на поле (не могут) противостоять враги могучему (Богу). И вот Желя жалуется над врагами, и Горыня горюет о смерти, в которую повергаются они руками божьими. И вот Карна плачет о тех мертвых, которые стояли на тропе божьей и умерли. И поля эти заполнены мертвыми кощонниками и отсеченными головами, и членами, отрезанными от тел. И все это лежит на траве, и смрад идет от этого поля. И вороны летят сюда клевать останки мертвых тел, и есть нежное человеческое мясо.

И вот Сварог, который создал нас, сказал Орею: «Сотворены вы из пальцев моих. И будут про вас говорить, что вы – сыны творца, и станете вы как сыны творца, и будете как дети мои, и Дажьбог будет отцом вашим. И вы его должны слушаться, и он вам скажет, что вам иметь, и о том, что вам делать, и как говорить, и что творить. И вы будете народом великим, и победите вы весь свет, и растопчите роды иные, которые извлекают свои силы из камня, и творят чудеса – повозки без коней, и делают разные чудеса без кудесников.

И тогда всякий из вас будет ходить, словно кудесник, и пропитание для воинов будет создаваться с помощью заклятий. Но воины станут рабами многословия, и от многих тех словес вы лишитесь мужества, и станете рабами дани и золотых монет, и за монеты захотите продаться врагам.

И тогда вам боги скажут: «Любите завет отца Орея! Он для вас – свет зеленый и жизнь! И любите друзей своих, и будьте мирными между родами!» И с тех пор было семьдесят князей наших, таких как Мезислав, Боруслав, Комонебранец и Горислав. И тогда иных избирали на вече, а других на вече отлучали, если люди не хотели их. В то время князи много трудились. И был тогда Кышек велик и мудр. И умер он, а после него были иные, и каждый творил что-нибудь хорошее. И русичи это удержат в памяти, потому что мы всегда их славим на каждой тризне. Трижды почитается память их сыновьями, и никто не смеет об этом забыть, так как получит проклятье божеское и человеческое и люди имя его охают навеки.

//-- 8/2-III --//

От морских берегов Готского моря шли мы до Днепра, и нигде не видели иных бродяг, таких же как русские, а видели свободные племена гуннов и языгов. И сами их бояр увидели, которые с нами стали воевать и раздирали нас на части.

От утра до утра мы видели зло, которое творилось на Руси, и ждали, когда придет добро. А оно не придет никогда, если мы силы свои не сплотим и не дойдет до нас одна мысль, которую глаголет нам глас праотцов.

Внимайте ему – и потому ничего другого не делайте! И тогда пойдем мы в степи наши бороться за жизнь нашу, ибо мы – воины княжеские, а не скоты бессловесные, которые не ведают (что творят).

## Славянские племена

//-- 6a-I --//

И были князья Славен с братом его Скифом. И тогда узнали они о распре великой на востоке и так сказали: «Идем в землю Ильмерскую!» И так решили, чтобы старший сын остался у старца Ильмера. И пришли они на север, и там Славен основал свой город. А брат его Скиф был у моря, и был он стар, и имел сына своего Венда, а после него был внук, который был владельцем южных степей.

И крови много там лилось оттого, что была распра великая за посевы и пашни по обе стороны от Дона и до гор русских, и до пастбищ карпатских. И там они начали рядить и выбрали Кола, и был он для них вождем, а также он отпор врагам творил. И поразил он их,

и отбился от них. И о том с родом своим говорил, созвав единое вече, чтобы создалась земля наша.

И после стояла земля та пятьсот лет, а затем началась между русскими усобица, и враждовали мы, и силу тратили и имели между собой беспокойство и разлад. И тогда пришли враги на отцов наших с юга и сразились с Киевской землей за морское побережье и степи. После отошли на север и сговорились с фряжцами, которые тоже пришли на помощь врагам. И в таком положении Скифия оказалась, и сразилась с вражьей силою, и победила ее. И так были гунны попораны, которые на Русь наступали, и были они в тот раз отбиты. И это был знак: мол, если будем то и ныне творить, это же будем иметь.

//-- 6б-I --//

Мы вернулись, чтобы хранить степные пастбища, так же как отцы наши и праотцы, которые пастбища брали, имея свои степи. И они травы свои и цветы умели хранить, кровь свою проливая. И так Голунь нашу мы оставили врагам. И та Голунь кругом (валом) была (окружена?), но враги притекли прямым путем.

И мы должны были наши грады кругами ставить (валами окружать?), так же как и отцы наши, которые в старину боролись за землю нашу. И всякий отрок-воин припадал к земле, и целовал ее, и там же умирал. И на степь нашу не шли воины, потому что куда бы они ни пошли – нигде не нашли бы укрытия.

И это мы говорили о том, как отцы наши боролись. И если мы были тогда повержены – Перун приходил к нам. И он вел нас, и тогда, сколько бы ни было праха на земле – столько было воинов Сварожьих. Это была помощь от рати, идущей от облаков к земле. И это дед наш Дажьбог был впереди их. И как было тогда не победить отцам нашим?

А мы не понимали, мог ли быть он впереди? И так возносили молитву богам нашим, чтобы они поспешили на помощь нам и дали победу над врагами! Молились еще о земле нашей, которая попорана погаными ногами вражескими. И так мы видели, как это было и, как сколоты (?) потекли на оных (врагов), и окунали их в грязь, и не позаботились о ранах вражеских, пока не убили тех, которые на них нападали. О том мы поведали вам!

//-- 2а-II --//

Муж правый не тот, кто совершает омовения и хочет быть правым, а тот, у кого слова и деяния совпадают. Об этом было сказано в древности, чтобы мы всегда творили хорошее, так же как деды наши. И мы вспахиваем полосы и будем со временем весьма славными. Но Борусь и Русь были разбиты рукой вражеской, и творились тогда злодеяния. И князь наш был немощен, и послал он сынов своих на брань, и полегли они, сраженные врагом, ибо пренебрегли тем, что решило вече. Не уважили (решение) и потому были разбиты, и потому у нас взяли дань.

И не так ли мы решаем ныне: «Князья – суть наши, и не следует им ходить на полдень (на юг), чтобы добывать землю для нас и для наших детей». А там (на юге) греки нападали на нас, как только Борусь от нас отделилась. И была сеча великая, и много месяцев (она продолжалась). Сто раз возрождалась Русь – и сто раз была разбита от полуночи до полудня (от севера до юга).

И так водили скот праотцы наши, и были отцом Ореем уведены в край русский, потому что, оставаясь, претерпели бы многое. И кончились ранения, и не стало холода, как только дошли до сего места и поселились огнищанами на земле русской.

И вот прошли две тьмы, а за этими двумя тьмами пришли варяги и отобрали землю у хазар, на которых мы работали и кому платили дань.

И еще был народ ильмерский, имевший от ста до двухсот краев. Народ же наш позднее пришел из русской земли и поселился среди ильмерцев. И были они нам братья, подобные нам. И даже если они от нас отличались, все же охраняли нас от зла.

И не раз собиралось вече. И то, что было постановлено, то провозглашалось и принималось за истину. А что не было принято, не должно было быть. Избирали мы князя от собрания и до собрания, и так мы жили и им помогали, и было так.

И много мы знали и делали в очагах сосуды гончарные, взяв хорошей земли (глины), а также мы умели разводить скот, как и отцы наши. И пришел на нас злой род. И...

//-- 26-II --//

...мы были принуждены укрыться в лесах, и жили мы там охотниками и рыболовами. И там мы могли уклониться от угрозы. Так мы пережили одну тьму – и начали грады и огнищанские села ставить повсюду. После другой тьмы был великий холод, и мы отправились на полдень (на юг), потому что там места злачные. И там римляне забирали наш скот по цене, которая была нам угодна, и перед нами они держали слово. И отправились мы к южному зеленотравью и имели много скота.

//-- 15a-II --//

После пошли к озеру Ильмень и там основали Новгород. И отныне мы здесь пребываем. И тут Сварога – первого пращура молили среди рождающихся родников и просили его, ибо он – источник хлеба нашего, – Сварога, который сотворил свет. Он – есть Бог Света, и Бог Прави, Яви и Нави.

И вот имели мы их воистину, и эта истина переборет силы темные и приведет к благу, так же как вела праотцов.

//-- 5a-II --//

Подробнее о начале нашем мы расскажем так. За тысячу пятьсот лет до Дира прадеды наши дошли до Карпатской горы, и там они осели и жили спокойно, потому что роды управлялись отцами родичей, и старшим в роде был Щеко из иранцев. И Паркун нам благоволил, и тут мы стали чехами (?) и так жили пятьсот лет, а потом ушли от чехов (?) на восход Солнца, и шли до Непры (Днепра). Река же та течет к морю, и мы у нее уселись на севере – там, где (речка), именуемая Припятью, втекает (в Днепр). И там мы поселились, и пятьсот лет вечно управлялись, и были богами хранимы от многих, называемых языгами.

И было там много ильмерцев – оседлых огнищан. И так мы скот водили в степи и там были хранимы богами. Может: быть, это предвидел отец Орей, – что мы будем иметь много золота и будем жить богато.

//-- 5b-II --//

И вот языцы отошли на полдень (на юг) и оставили нас одних. И так шли мы туда, куда выводят скот и быков наших. И вещали тут птицы Сирины (?), во множестве прилетая к нам. И галки, и вороны над едой летали, и было в степях много еды, так как напало на нас племя костобоких.

И открылись многие раны, и пролилась кровь. Те внезапно отсекали головы врагам своим, и их ели вороны. И так Стрибы свищут в степях, и бури гудят до полуночи. Небезопасна была та сеча великая. Языцы и костобокие разили и со злобой утекали и воровали быков наших. И так продолжалась эта борьба двести лет. И наши родичи тогда ушли к ляхам и там осели за сто лет до готов Германареха. А те озлобились на нас, и тут была борьба великая, и готы были потеснены и отогнаны к Донцу и Дону. И Германарех пил вино за дружбу с нами после наших воевод. И так была утверждена новая жизнь.

//-- 16-II --//

Велесову книгу сию посвящаем Богу нашему, который есть наше прибежище и сила. В оны времена был муж, и был он благ и доблестен, и назвали его отцом тиверцев. И тот муж жену и двоих дочерей имел, а также скотину, коров и множество овец. И жили они во степях, где не было мужей для дочерей его... И молил он богов о том, чтобы род его не пресекался.

И Дажьбог услышал мольбу ту и по мольбе дал ему измоленное, так как настало для того время. И вот прошел он между ними и начал ворожить. И наворожил ясну тучу. И тут бог Велес принес отрока. И мы пошли к Богу нашему и стали Ему возносить хвалу: «Будь благословен, вождь наш, и ныне, и присно, и от века до века!» Изречено это кудесниками. Они прочь уходили и назад возвратились.

//-- 5b-I --//

И дошли тиверцы до синя моря и Сурожа к вам – и вам сказали: «Как мы сами помним, в старые времена сплотились анты, от язв (спасаясь). И также было много крови пролито, и на ней Русь стоит, поскольку мы кровь-руду пролили, и так навеки до конца будет. От земли нашей (пошли) славянские племена и роды. И мы славили богов, никогда не прося их, лишь славя их силу. А также величали мы пращура нашего Сварога, который был, есть и пребудет вождем нашим навеки и до конца».

//-- 7э-II --//

Там Перун идет, тряся золотой головой, молнии посылая в синее небо, и оно от этого твердеет. И Матерь Слава поет о трудах своих ратных. И мы должны ее слушать и желать суровой битвы за Русь нашу и святыни наши. Матерь Слава сияет в облаках, как Солнце, и возвещает нам победы и гибель. Но мы этого не боимся, ибо имеем жизнь вечную, и мы должны радеть о вечном, потому что земное против него – ничто. Мы сами на земле, как искра, и сгинем во тьме, будто не было нас никогда.

И так слава отцов наших придет к Матери Славе, и пребудет в ней до конца веков земных и иной жизни. И с этим мы не боимся смерти, ибо мы – потомки Дажьбога, родившего нас через корову Земун. И потому мы – кравенцы (коровичи): скифы, анты, русы, борушины и сурожцы. Так мы стали дедами русов, и с пением идем во Сваргу Сварожью синюю.

В старые времена рыбоеды нас оставили, не желая идти в наши земли и говоря, что им и так хорошо. И так они погибли и не стали плодиться с нами, умерли, потому что от неплодных ничего не осталось. И неизвестно (ныне) о тех костобоких, которые ждали помощи от самой Сварги и перестали трудиться, и вышло так, что они были поглощены лирами. И тут мы сказали, что это, правда, что ничего от них обоих не осталось, так как лиры были поглощены нами – и не имеем мы теперь их.

И так дулебы повернули от нас на Борусь. Мало осталось лиров, и они были наречены нами ильмерцами, потому что поселились они возле озера. Тут венды уселись дальше, а ильмерцы остались там. И так их было мало.

И говорила Сва в поле нашем, и била крыльями Матерь Сва, и пела песни к сече, и та птица не есть Солнце, она – та, из-за которой все стало (?).

## ВОЙНЫ С ГРЕКАМИ И РИМЛЯНАМИ

//-- 1-II --//

Напрасно забываем мы доблесть прошедших времен и идем неведомо куда. И там мы смотрим назад и говорим, будто бы мы стыдились познавать обе стороны Прави и Нави и быть думающими. И вот Дажьбог сотворил нам это и то, что свет зари нам сияет, ибо в той бездне повесил Дажьбог землю нашу, чтобы она была удержана. И так души пращуров сияют нам зорями из Ирия... Но греки нападают на Русь и творят злое во имя их богов. Мы же сами – мужи, не ведающие куда бежать и что делать. Ибо что положено Дажьбогом в Прави, нам неведомо.

А поскольку битва эта протекает в яви, которая творит жизнь нашу, а если мы отойдем – будет смерть. Явь – это текущее, то, что сотворено Правью. Навь же – после нее, и до нее есть Навь. А в Прави есть Явь. Поучились мы древней (мудрости), вверглись душами в это, поскольку это вокруг нас сотворено силой богов. Это мы узрели в себе, и это дано как дар богов, и это требуется нам, ибо (делать) это, – значит, следовать Прави (?).

И вот души пращуров сияют нам из Ирия. И там Жаля плачет о нас, и говорит нам, что мы пренебрегали Правью, Навью и Явью... Пренебрегали мы сим и были глухи к истине... И мы недостойны быть Дажьбоговыми внуками. Ибо лишь моля богов да имея чистые души и тела наши, будем иметь жизнь с праотцами нашими, в богах слившись в единую Правду. Так лишь мы будем Дажьбоговыми внуками.

Смотри, Русь, как велик ум божеский, единый с нами, и ему творите (славу), и провозглашайте ее с богами воедино... Бренная есть наша жизнь, и мы сами – также, и, словно коням нашим, нам придется работать, живя на земле с тельцами и овцами в сытости и убегая от врагов на север.

//-- 19-III --//

И вот виделось в Нави: там Огнебог влачась, уходил от причудливого Змея. И, затопляя землю, текла кровь из Змея, и он лизал ее. И тут пришел сильный муж, и рассек Змея надвое – и стало два (Змея), и рассек еще раз – и стало четыре. И этот муж возопил богам о помощи.

И те пришли на конях с неба и того Змея убили, потому что сила его не людская, не божеская, а – черная. И этот Змей – суть враги, приходящие с юга. Это боспорские воины, с которыми наши деды сражались. Они хотят, чтобы земля наша отошла к грекам, но мы ее не отдадим, потому что она наша, и мы не упустим ее. А сотворенный тот Змей – есть погибель наша.

Мы должны сражаться и животы положить за землю нашу. Она тянется от нас до полян, и дреговичей, и русов, тянется до моря и гор, до степей полуденных. И это есть Русь. И только от Руси мы имели помощь, потому что мы – Дажьбоговы внуки. Мы молили Патара Дья, чтобы он низверг огонь, чтобы он позволил Матери Сва славу принести на крыльях своих праотцам нашим.

И ей мы песни поем возле костров вечерних, где мы рассказываем старыми словами о славе нашей, о святом Семиречье нашем, где мы имели города, где отцы наши сражались. И ту землю мы покинули, идя к земле иной, где мы должны теперь удержаться. И в древности мы взяли Голунь нашу, и в этой земле сотворили и города, и села, и очаги.

И вот омоем телеса наши и души наши, чтобы была чистою Русская Голунь, где сильно бьются и на врагов наводят страх и изумление. Ибо от пастбищ, где овцы ходят, простирается земля на день пути от нас до иных, где творится иное, где были мы в старые времена, где одолели нас. И там мы узрели руку, угрожающую нам, и видели суровый день, который хотел крови. И мы ее прольем на землю свою русскую... В русских городах камни вопиют нам, и мы решились идти и смотреть смерти (в глаза)...

Почтите сына моего, который умер за нее.

//-- 4г-II --//

В Суроже свет будет над нами. И мы идем туда, где видим горящую землю... у Лукоморья всякий день обращаем взор к богам, которые есть – Свет. Его же мы называем Перун, Дажьбог, Яр и иными именами. И поем мы славу богам и живем милостью божьей, до тех пор, пока жизнь имеем.

В Суроже были враги наши, которые змеями ползли и грозили нам болями, и смертью, и лишением живота. И всем им явился бог сильный, и бил их мечом-молнией, и они испустили дух. И Сурья светит на нас и к нам, и все увидели сначала, как славу Сурьи застилает Дедова тень, приносящая зло, и как от той тьмы изошло злое племя демонев-дасу. И то злое племя на пращуров наших натекло, и напали они, и потому многие ушли и умерли.

//-- 22-III --//

Также расскажем о том, как Квасура получил от богов тайну – как приготавливать сурину. И она – есть утоление жажды, которое мы имели, и мы должны на Радогоще около богов радоваться, и плясать, и венки подбрасывать к небу, и петь, славу богам творя.

Квасура был мужем сильным и от богов вразумляемым. И тут Ладо, придя к нему, повелела вылить мед в воду и осушивать его на Солнце. И вот Солнце-Сурья сотворило то, что он забродил и превратился в сурицу [9 - Сурица – священный напиток, от индоевропейского «сурья» солнце.]. И мы пьем ее во славу божью.

И было это в века докиевские, и муж тот был во сто крат весьма выделен (богами), и передал он (тайну) отцу Богумиру (Благомиру), и тот получил поучение небесное, как творить квасуру, которую называют сурья. И это (мы вспоминаем) на нашем Радогоще. И

вот когда наступают дни Овсеня, мы оканчиваем жатву и радуемся этому. И если иной не удержит своего естества в этот раз и скажет безумное – то это от Чернобога. А другой получит радость – и это от Белобога.

И так мы должны искать друзей и врагов... Куя мечи наши на силу вражью, мы получаем силу божескую, чтобы поразить врагов наших с обеих сторон. И этот Богумир сурью сотворил, когда те предрекли ему славу. И были они, и она (сурья) была, когда боги рекли ему хвалу... И вот установили они роды для себя, и потому боги – причина родов, и так стали иметь они родные те роды, И теперь Сварог – Отец, а прочие – суть сыны его. И мы должны были покоряться ему, так же как покорялись родителю, потому что Он – Отец нашего рода. И этот род – воины от Кия до князей киевских. И когда после готской войны обрушилась Русколань, мы ее оставили, и притекли к Киеву, и уселись на земле той, где мы вступили в борьбу со степными врагами. И тут мы оборонялись от них.

И так было через тысячу триста лет после века Кия, через триста лет после жизни в Карпатах и тысячу – после основания Киева. Тогда одна часть ушла к Голуни и там осталась, а другая (дошла) до града Киева. И первая – это русколаны, а другая – те, которые сурень чтили, ходили за скотом и стада водили десять веков по земле нашей (т. е. сурожцы?).

И вот та Голунь была градом славным и имела триста городов сильных. А Киев-град имел меньше: десять городов на юге, немного сел – и все. А до этого все роды их были в степях на юге, они сеяли, жали жито. И там отдавали (продукты) грекам в обмен на золотые цепи, монеты и ожерелья. И сами носили их в обмен на пиво и вино грекам и разводили овец для этого обмена.

И те русы создали на юге град сильный Сурож [10 - Сурож – поселение тавров в IV в. до н. э. С III в до н. э. – греческий город Сугдея.], который не создать грекам, но они его разрушили и хотели русских побить, и потому мы ходили на них и разрушали села греческие. Эллины же сии – враги русколанам и враги богам нашим. В Греции ведь не богов почитают, а людей, высеченных из камня, подобных мужам. А наши боги – суть образы.

И когда бились с готами, которые надевали на головы свои воловьи и коровьи рога, и кожами облекали чресла свои, и мнили этим устрашить русских, тогда мы снимали свои портки, и, оголя чресла свои, шли в бой, и их побороли. И с тех пор мы ходим оголенными на сражения и побеждаем.

И также, когда греки стояли, боясь вынуть меч из ножен, они были измождены своим одеянием, и были словно жертва, которая должна пасть на землю, и та будет пить ее кровь, когда из нее при умерщвлении будет исходить жизнь.

//-- 8/3-III --//

Когда наши пращуры сотворили Сурож, начали греки приходиться гостями на наши торжища. И, прибывая, все осматривали, и, видя землю нашу, посылали к ним множество юношей, и строили дома и грады для мены и торговли.

И вдруг мы увидели воинов их с мечами и в доспехах, и скоро землю нашу они прибрали к своим рукам, и пошла иная игра. И тут мы увидели, что греки празднуют, а славяне на них работают. И так земля наша, которая четыре века была у нас, стала греческой. И мы сами оказались как псы, и выгоняли нас оттуда камнями вон. И та земля огречилась. И теперь мы должны были снова ее доставать, проливая кровь свою, чтобы она опять стала родной и богатой. И летела в небе Перуница, и несла рог славы, и мы его выпили до дна. И витязей у нас стало в десять раз больше, чем у врагов наших. И та Перуница сказала: «Как же вы, русские, проспали пашню свою? С этого дня вы должны бороться за нее!» И тогда Сурья сказала: «Идите, русские, и делайте это!» И когда мы пришли в край свой, то ударились в (городскую) стену, и проделали в ней дыру для себя и для наших, и оказались тогда сами у себя. (И решили:) «Кому присудил Перун, тот попадет в рай – есть яства вечные в Сварге. Быть может, мы сегодня погибнем, но мы не имеем иных ворот к жизни. И лучше быть мертвым, чем быть живым и рабствовать на чужих. И никогда не живет раб

лучше деспота, даже если тот ему потакает. Мы должны были слушаться князей наших и воевать за землю нашу, как они говорят нам».

И тут Индра пришел к нам, чтобы мы сохранили свою силу в бою и стали твердыми, чтобы витязи наши одолели, ибо сила наша – божеская, и нам не быть побежденными на поле. Принесли мы жертвы богам своим на Руси, и гадали, смотря на полет птиц, и увидели, что враги должны быть повержены долу в прах и в кровь. И если мы кольцо (стен) пробить осмелимся, то за ним окажутся греки, которые не имеют силы, ибо они обабились – и мечи имеют тонкие, и щиты легкие, и скоро они устанут и на землю бросаются по слабости своей. И не успеют получить помощь от василийцев, и потому они должны будут сами встать на защиту свою.

И та Сурож нашей была – и станет нашей, и не должны мы их слушать. Они говорили, что установили у нас их письменность, чтобы мы приняли ее и утратили свою. Но вспомните о том Иларе, который хотел учить детей наших и должен был прятаться в домах наших, чтобы мы не знали, что он учит наши письмена и то, как приносить жертвы богам нашим.

И я вам поведал о том, что вы победили греков. И будет так, как было, ибо я ясно видел Кия – отца нашего, и он сказал мне, что мы уничтожим их, и унизим Хорсунь – для нас постыдную мерзость, и будем великой державой с князьями нашими, городами великими, несчетным железом, и будет у нас без числа потомков, а греков уменьшится, и будут они на былое дивиться и качать головами. Делайте так, ибо будут у нас и грозы многие, и грома гремящие, и два (княжества) объединятся, и встанет другое новое. И так мы победим окончательно, утвердимся навеки. Многое дадут нам боги, и ничто нас не унижит. Встаньте, как львы, – один за одного! И держитесь за князя своего. И Перун будет с вами и даст вам победу. Слава богам нашим до конца веков! И земле той – Руси отцовской, земле нашей – всяких благ! И так будет всегда, ибо эти слова от богов.

//-- 21-III --//

И вот храбрый поборол ту злую силу – обе сотни опоясанных воинов. И мы должны были сохранить порванные одежды и поставили для богов хранилище. И приходили к стене дубовой и к другой стене – и там хранили подобия наших богов. Мы имели много хранилищ в Новгороде на реке Волхове, имели и в Киеве-граде в Божьих лесах. А также имели на Вольши дулебское хранилище и в Суроже на синем Сурожском море.

И это великое оскорбление для нас, что в сурожских хранилищах, добытых врагами, боги наши повержены во прах и должны валяться, так как русичи не имеют сил, чтобы одолеть врагов в бою. И мы имели рваные одежды такие же, как у странника, который ходил ночью по лесам и порвал одежду свою на куски. Также и русские имели лохмотья на теле русском. И мы не берегли одежды, лишь стремились славить богов, которые не приемлют от нас жертв, потому что они раздражены нашей леностью.

И все же птица Матерь Сва славу нам предрекла и молила нас уберечь славу отцов. Не имели мы дерзости двинуться на рать и мечами своими взять землю нашу, очистив ее от врагов. И вот тысячу триста лет мы храним наши святыни, а ныне жены наши говорят, что мы – блаженные, что мы утратили разум свой и стоим мы как агнцы перед врагами. Что не смеем пойти на брань и мечом разить врагов наших. И вот грядет к нам Купала и говорит нам, что мы должны стать воинами с чистыми телесами и душами нашими. И пошли мы по стопам его, который пришел к нам и, нас охраняя, повел к суровой битве. И там мы (погибнув) предстали б пред ликом Сварога. И так, идя к сече, мы хвалили богов наших перед бранью, как в мирные дни. И вот Купалич сказал нам, что мы достигли оное время, и будем теперь почитаемы за славу свою, и также с отцами нашими пребудем.

//-- 7ж-II --//

И мы ведали, что русский род должен собираться в десятки и в сотни, чтобы напасть на врагов и снять с них головы. И тогда злые полягут, и звери хищные, их поев, сдохнут.

Текут реки великие по Руси, и журчат многие воды, и поют они о стародавнем. О тех боярах, что не боялись идти к полям готским, что многие лета боролись за вольность русскую, о тех, что не берегли ничего, даже жизни своей, – о них говорит Берегиня.

И бьет крыльями Матерь Сва, славу поет та птица воинам борусинским, которые от римлян пали около Дуная возле Троянова вала.

И они на прямом пути к тризне полегли, и Стрибоговы внуки пляшут над ними, и плачут о них осенью, а студеной зимой о них причитают. И голуби дивные так говорят, что погибли они славно, и оставили земли свои не врагам, а своим сыновьям. И так мы потомки их, и не лишимся мы земли нашей, не отдадим ее ни варягам, ни грекам.

И тут Заря Красная пришла к нам, как жена благая, и дала нам молоко, чтобы крепость и сила наша удвоилась. Ибо Заря возвещает Солнце. И также слышали мы, как скачет вестник на коне к солнечному закату, чтобы направить золотой челн к ночи, чтобы (солнечный) воз был смиренными волами влекомо по синей степи. И там же Солнце ляжет спать в ночи. И когда день приходит к вечеру, другой наездник появляется и так говорит Солнцу, что воз и волы готовы и ожидают его на отмеченном пути, и что Заря пролилась в степь, и позвала Мать, чтобы Сва поспешила...

//-- 8/2-III --//

И тут пришла Красная Заря, нанизывая драгоценные камни на убранство свое. И ее мы приветствовали от сердца – как русские, а не как греки, которые не знают о богах наших и говорят злое по невежеству.

Но мы имеем имя славы – и славу ту доказали на вражьем железе, когда приходили на их мечи. И даже медведь остановился, чтобы услышать славу ту, и скакавшие аланы остановились и потом говорили иным о русских:

«Они не начали бы убивать, если б не было нужды, – и этим русские гордятся, а греки воюют ради похоти своей. И дают хлеб они не так, как греки, которые берут, а сами злобу таят на дающих».

И о славе той орлы кличут во все стороны, ибо русские вольны и сильны в степях.

//-- 7a-II --//

Слава богам нашим!

Мы имеем истинную веру, которая не требует человеческих жертв. Это же делается у варягов, приносящих такие жертвы и именующих Перуна – Перкуном. И мы ему приносили жертвы, но мы смели давать лишь полевые жертвы, и от трудов наших просо, молоко, жир. А так-же подкрепляли Коляду ягненком, а также во время Русалий в Ярилин день, а также на Красную гору. Тут же мы начинали вспоминать о Карпатских горах. В то время наш род именовался – карпени. Те, которые от страха жили в лесах, именовались по названию – древичи, а на полях мы назывались – полянами.

Так всякий, который слушает греков, скажет про нас, что мы – людоеды. Но это – ложная речь, поскольку это воистину не так! Мы имели иные обычаи. Тот же, кто хочет победить другого, говорит о нем злое, и тот – глупец, кто не борется с этим, потому что и другие это начнут говорить.

И так мы долго управлялись родами, и старшие из всякого рода шли судить родичей под Перуновым деревом. И также имели мы в тот день игрища перед очамя старших: и силу юноши показывали, они быстро бегали, пели и плясали. В тот день огнищане ходили на промысел и приносили дичь старцам, которые делили ее с прочими людьми. И волхвы жертву делали богам, восхваляли их и славу провозглашали.

Во время же готов, или когда появлялись варяги, избирался князь в вожди. И этот вождь вел юношей к суровой сече. И вот римляне, поглядев на нас, замыслили злое. И пришли со своими колесницами в железных бронях и напали на нас. И потому мы долго оборонялись от них и отваживали...

//-- 7б-II --//

... их от нашей земли. И ромеи узнали, как мы дорожим жизнью нашей, и потому оставили нас. Но тогда греки захотели биться с нами около Хорсуни [11 - Хорсунь –

Херсонес, Херсон, Корсунь – древнегреческая колония на территории современного Севастополя.]. И бились мы сурово против рабства нашего, и была борьба и распря великая тридцать лет, и они оставили нас.

И тогда греки пришли на торжища наши и сказали нам: «Обменивайте коров ваших на мазь и серебро, которые требуются женам и детям». Так мы меняли бороны на их снеть. После еды греки старались нас ослабить, и стремились взять с нас дань. Но мы не ослабились и не отдали землю нашу, как и землю Трояню не дали ромеям. Дабы не встала Обида Дажьбоговым внукам, беспокоящимся о вооруженных врагах.

Так и сегодня мы не заслуживаем хулы, как и отцы наши, ибо мы рубились у берега Готского моря и тут одержали над ними победу. Песнь хвалебную поет Матерь. Она – прекрасная птица, которая несла пращурам нашим огонь в дома, а также агнца принимала. Над готами, болью нашей, мы одерживали верх силой. И должны мы врагов рассекать и прогнать их, как псов.

Погляди, народ мой, как мы оберегли (иные) народы. И мы не ошиблись, получая раны, и не бросились рядиться. А мы сами врагов прогоняли, и беду избыли, и имели иную жизнь, потому что сами бились за сто городов и не отходили от них. И тягчайшее поражение было нам, но мы тысячу пятьсот лет должны были переносить многие битвы и распри, а все же остались живы из-за свирепости и жертвенности юношей и воевод.

//-- 23-III --//

И вот пришли новояры от старых пашен, где были такие же русские. И они пришли на юг и сражались в степях десять веков. И это также русские, которые избирают своих князей. Это делалось в каждом роде, а роды давали от каждого племени своего князя, а князи избирали старшего князя. И тот был вождем в сражениях. И так мы жили в земле той до тех пор, пока враги не пришли к нам и не разбили нас.

Это Греция пришла на ту землю, и осела на ней, и не заботилась о Руси. И вот русы вынули мечи, и напали на греков, и отогнали их от своих морских берегов. И тогда греки привели рати, защищенные железными бронями. И была сеча великая, и вороны там граяли при виде человечины, разбросанной по полю. И ели они останки, и великий грай стоял в поле том. И ели они останки греческие, русские не трогая. Там они защиту имели, так как боги не желали гибели русских.

И там сражалось Солнце с Месяцем за землю ту. И Небо сражалось за поле битвы, чтобы земля та не попала в руки эллинские, а осталась русской. И там плачет мать о детках своих, которые пролили кровь на поле сражения, и то поле стало русским. Новояры находятся там до сего дня, а земля та – наша из-за крови, пролитой мечами. И там сказали эллины нашему старшему князю, что они не хотят ходить в землю неров (невров?), а также брать рабов аланских, ибо имеют берега морские (и этого достаточно).

И про это мы имели предсказание в наши дни – поскольку праотцы наши, умершие на поле битвы, не взяли землю у врагов наших, значит, и сегодня, согласно предсказанию, ее никто не возьмет. И вот Германарех пришел на север к нам, и мы должны были оборонять земли свои, а также идти на него, ибо готская земля – наша. Ее белогоры сеяли и усеивали костями своими и кровью своей поливали – и потому она наша.

И вот поет птица Матерь Сва и славу предрекает нам: нам самим и мечам нашим. И мы пошли до святого поля, и одолели врагов полночных (северных), и отразили врагов полуденных (южных). И пошли на врагов и сошлись с ними, и были германцы повержены русскими, потому что мы – Отца нашего Перуна сыны и Дажьбога внуки. И вот Сварог указал нам, куда ушли эллины и Германарех. И тот Германарех отошел на север, а эллины на юг. И так мы обрели землю нашу и собрали ее воедино, и не давали мы сыновей своих, ибо цены не имеют сыны наши.

И вот идет в степи наши великое множество иных родов, и не должны мы быть мирными, и не должны просить помощи, ибо она в мышцах наших и на конце мечей, и ими мы сечем врагов. И это поет птица Матерь Сва нам, чтобы мы подняли мечи свои на защиту свою. И она бьет крыльями о землю, и прах поднимается к Сварге. И на этой земле

– враги, и она бьет их, и она сражается за нас. И их мы одолели, как она нам кричала, ибо крик ее был в сердце нашем. И мы ведали, как вить сурью и идти до сечи, и там одолевали питье иное, сотворенное богами. И оно будет нам, как живая вода в последний час великой тризны, которая будет у всякого, кто умер за землю свою.

И вот Сварожич смотрит на нас от своей чудной Сварги и, видя рати наши, пересчитывает их. И если не хватает для счета пальцев на руках, то он считает по пальцам на ногах. И ведает Пращур наш, что мы – сила великая и не могут одолеть нас враги наши.

И так мы текли на них и дожидались, пока они упадут на землю и умрут от Мары. А эту Марь мы знаем! И вот говорили мы в сердцах наших, что не вернемся мы к очагам своим, доколе еще враги рыщут, доколе не бросимся телами нашими на врагов, пока еще враги забирают земли наши. И говорим мы, что боги заботятся о нас. И если будут убиты передовые воины, то лучше детей своих бросить на копья, чем повернуть зады Врагам нашим.

И вот люди наши одержали победу, и потекла земля чаша к нам, чтобы мы смогли удержать ее до смертного часа и узреть Мару. И чтобы Мара отступилась от нас и сказала, что я не имела силу и потому не одолела витязей русских. И тогда слава потечет к Сварге. И там боги скажут, что русичи – храбрые, и есть им место подле бога войны Перуна и Дажьбога – их отца.

//-- 8a-I --//

Посмотрите вокруг – увидите птицу ту на челе вашем! И та птица поведет вас к победам над врагами, ибо вы – сыны ее и потому одержите победу!

И она, красуясь перед нами, влекла нас к себе светом. И так было в иные времена, когда русские шли с вендами и те хотели унести богов своих к морю.

И мы там угнездились. И там были города и храмы-помолья, и там же были многие здания, и были мы богаты. И те помолья были украшены золотом и серебром, и мы почитали многих деревянных богов и уходили от искушений. И это было ведомо иным, которые видели это, которых это задевало и им перечило, – и потому родичи наши не имели покоя. Арабы приходили и терзались на торжищах о богатстве и дани, дающейея навсегда поселившимся там отрокам (рабам и воинам).

И та земля, говорят, также опротивела нам войнами и трудной жизнью. И тогда мы отошли к горам Карпатским, ища покоя, но и там также мы враждовали с злыми язычниками. Там пели мы, что мы – русские, и о славных днях тех. И имеем мы песни те от отцов наших – о прекрасном житье в степях и славе отцов.

И вот воевода Бобрец повел русских в Голунь и обрел после смерти чин в храбром войске Перуна. Это мы не забудем никогда, ибо мы – сыны отцов наших и имеем любовь к их памяти. И мы говорили о них, так как они были силой нашей, и силы той, что шла к нам от них, даже у львов нет, а львиную мы перемогли.

Мы сказали...

//-- 86-I --//

...о тех, которые заботились о нас.

Мы тогда не имели мольбищ и служили перед колодцами и родниками, где текла живая вода. И там волшебство есть, и волки хищные туда не заходят. Теперь вспомним времена Алдореха. Его призвал жрец, так как мы не радели о благочестии (?) и не держали слово. И красавиц наших тогда внезапно брали и похищали – и увозили девушек. А между нами были распри из-за готов. И там мы жили, и были под готами.

А в те века мы управлялись родами и князьями. И был князь Бравлин, который отобрал у эллинов берега морские. И после битвы мы пришли жить туда, и там разводили скотину, и скифам давали попасти скотину в степях. И тогда терпели беду они, потому что греки снова сидели в Голуни, а когда приходили в города – злобствовали на нас. В те времена мы ушли прочь на север и там были двести лет, и там мы остались с тех пор и донине.

И сейчас мы имеем другого князя Бравлина, правнука своего деда, который говорил: «Идите на юг, на греческую Голунь! Ибо греки между эллинами – племя особое, и

продают они нас, поймав в степях, и скотину нашу хотят взять задаром. Это мы имели от них. Страхните же их в море и гоните в свои края, так как земля та – русская, и там русская кровь лилась вниз на землю, и та пила кровь нашу. На нас надейтесь! И мы будем ее защищать во все дни, как и ранее хотели».

## БОРЬБА С ГОТАМИ И ГУННАМИ

//-- 13-II --//

И вот, умом и храбростью окрепнув, пошли мы к восходу Солнца, с обеих сторон реки видя. И там осели, где Матьер Сва сказала, и она обе стороны крыльями отвоевала, и также забрала землю ту и оборонила ее от дасу и гуннов, а также к готам обратила стрелы свои и мечи отточенные...

//-- 8/1-III --//

И тут родичи начали делить – кому быть старшим. Кий отошел к отцам и праотцам умершим. Кий ушел нас – и притекла беда. И тут великая свара одолела русских, которые принялись биться за разделение – и разделились. И тут греки от своих земель жать стали. А мы на битву не имели сил, чтобы сойтись в круг и по крыльям. И всякий был сам по себе, поглядывая на соседей своих. И от того веры не имели, что мухи, идя к сече и идя обратно, принимались браниться – мол, при походах Кия было лучше, при Кие с вечера заранее шла речь о победе. И тогда пели о походах отцов своих, о том, что когда Русколань пала ниц из-за сражений с готами и гуннами, тогда создалась Киевская Русь и Антия, и готы этого устрашились и ушли вон к своему краю. И мы ведали про два края – один вендов, а другой – готов. И тут готы пришли к нам, и готы эти усилились, а венды ослабели. А вокруг нас была чудь, а также была литва, и они назывались ильмами, а от нас они были наречены ильмерцами.

//-- 6a-II --//

От Орея – это общий наш отец с борусами – от Ра-реки (Волги) до Непры (Днепра) роды управлялись родичами (старейшинами) и вечем. Всякий род назначал себе родича, который был суть правящим. А когда мы пошли к горе, тогда (избрали) князя, воеводу над людьми, чтобы он воевал с врагами во славу Перуна.

И это Дажьбогова помощь возвратилась к нам! Так земля та стала русской из-за борьбы русов и борусов. И великая непрестанная битва шла во всякий час. И многие были в то время убиты, но вражий натиск был в то время окончательно сокрушен.

И тут Германарех [12 - Германарех – король остготов из рода Амалов, основатель т. н. «империи Германареха». Готский историк Йордан утверждал, что империя простиралась от Балтийского моря до Черного.] пришел к нам и напал на нас. И так нас сровняли с землей, когда мы бились. И пришлось нам из-за готов между двух огней тлеть и воспламеняться. И тут пришла великая беда, и жниво наше было спалено, и не осталось селения, где бы не было дыма и пепелища.

И тут прилетела к нам птица божеская и сказала: «Идите на полночь и набросьтесь на тех, которые приходят к селам нашим и пашням (?)». И так сотворили мы – ушли на полночь, и постарались (бороться) с ними. И в этой распре мы их победили. И так пришли мы к ним, и встали станом на реке Дон – там, где были римляне (?), и так набросились на них и бились много. Тут некоторые хотели нас быстро опростоволосить – и вместо этого сами опростоволошились. И тут была тьма опростоволошенных воинов. Великие шли снега, голод мучил наших людей, оставшихся у реки и лишившихся всего. В тот раз волки страдали, потому что не могли заглатывать тварей (лесных)...

//-- 66-II --//

Так сто двадцать лет (продолжалась) война. Готы пришли «на плечах» гуннов, и (отошли) на полночь, и осели между Ра-рекой (Волгой) и Двиной.

Германарех и Гуларех привели их в новые земли, ибо гунны с бредущими быками своими стали станом в том краю. Там было много коней и быков, трава злачная, вода живая. И тут Гуларех привел новые силы свои и отразил главные силы (?) гуннов, многие из которых текли на нас.

И тут родичи собрались на конях идти на них. И была суровая сеча там тридцать дней. И русы пустили готов в свои земли. И от этого злые пошли времена.

Напали на нас римляне... ополчились (?) и готы с севера и с юга. И тогда великая кровь лилась (?). И там борьба была... Там много травы полегло, удобной богам и людям.

И вот не могли мы ни к чему иному прибегнуть, кроме как выбрать князя из вождей, который был бы от осени до весны и которому мы платили бы дань от полюдья. А в старые времена мы водили стада свои и обрабатывали землю. И была такой наша жизнь сто десять лет, и творили мы всякий день борьбу с гуннами. И... пришел (Сах?)... и ничего не взял. И вот мы стали иметь князя Саха, и был он премудрый... в ладах с русами, и был нашим другом...

//-- За-I --//

Это бьет крыльями птица мать Сва, когда тягости новые идут на нас. И враги раздвигают щель (на границе) и начинают, и, прорываясь, нападают на нас. И вот течет печаль великая в крае нашем, будто дым степной, виденный нами, который поднимается к Сварге. Когда Жаля плачет о нас и кличет Мать Сва к Всевышнему, посылающему ветер лесам и огонь очагам нашим, тогда Он приходит на помощь, и вместе с ним отцы наши бьются с врагами.

И вот Германарех отступил, и готы ушли за малую Кадку и утекли к берегу моря. И так земля освободилась до Дона и по ту сторону Дона-реки. И это Калка великая – есть граница между нами и прочими племенами. И там готы бились четыреста лет со своими врагами. И тогда мы начали засеивать землю нашу, начали пахать спокойно землю для эллинов, торговать с ними – совершать обмен скота, шкур и сала на серебряные и золотые монеты, и питье, и яства всяческие. И жизнь наша после того была спокойная и мирная.

И вот готы напали на нас еще раз. И была распря десять лет. И мы удержали землю нашу. Также мы имели брань от врагов, уклоняющихся от святых волхвований. А те святые приходят к нам. И первый святой – Коляда, а другие – Яр и Красная гора, и Овсень великий и малый. И идут те святые, как муж от града до села огнищанского, и с этим на землю мир грядет от нас к иным и от других к нам.

//-- 36-I --//

Сотекайтесь и идите, братья наши, племя с племенем, род с родом, и сражайтесь – как это и надлежит нам – за себя на землях наших. И никогда не должно быть по-иному! Ибо мы – русские, славящие богов наших песнями нашими и плясками, и зрелищами, которые мы устраиваем во славу богов.

И вот мы осели на землях и начали перстами прикладывать ее к ранам своим и толочь ее. И после смерти представляли перед Марморой, которая рекла нам: «Я не буду винить того, кто наполнен землей, и не могу его отделить от нее». И боги, находящиеся там, после нее говорили: «Оттого ты русич и останешься им, что набрал землю в свои раны и принес ее в Навь».

В те времена, пока князей избирали, многие вожди и князи были. И всякое то княжение на вече утверждалось простыми мужиками. И так постановляли: «Землю пашите – себе, а князь пусть, согласно решению, защищает людей». А хлеб, и еду, и все, что нужно для жизни, он от своих людей каждый день имел. (Ныне же) иные князи и подати берут, и сынам своим власть дают от отца к сыну и также от деда к правнуку.

//-- бд-II --//

И так жрец сказал, что демоны-дасу умножились. И от них спасения не было б ныне, если б мы не имели наших воинов.

Так мы окончательно узнали – откуда мы. И это был боярин Гордыня, который бил готов Триедора. И было это через десять столетий и три года после Карпатского исхода. И он,

как и Триедор, шел без страха на них. А боярин Сегеня, который убил сына Германареха и отрока Гулареха, пошел к Воронежцу. [13 - Воронежец – возможно, это пос. Воронеж в Шосткинском районе Сумской области. Там в центре до сих пор сохранился древний вал.]

Там осталась Русь Борусская и Русколань. И так нам придется стыдиться из-за слов врагов наших, если мы их получили, но не смогли воздать вдесятеро за всякое слово, сказанное нам. И вот Заря светит нам, и Утро идет к нам, и так мы имеем вестника, скачущего по Сварге. И рекли мы хвалу и славу богам! И вот Сурож «огречилась», и не будет она теперь русской. И там боги греческие. Но жизнь в степи – к благу нашему, получили мы от нее твердость и крепость, дабы враги отведали, что есть истина. И Гуларех пошел на новые земли.

//-- 7В-II --//

Тогда не было иных гостей, а ныне прибывают и беспокоят нас. Тогда мы могли отразить врагов. И ежедневно так и отражали, и брали (в плен) и этих, и тех. Сначала мы звали под стяги вождей наших, которые еще не обабились, а были воинами... Приходили эти воины на площади и говорили, что не будет по-иному – и мы должны идти на греков, как постановило вече. И просили мы в Ясуни, и Индра шел за нами, как шел за отцами нашими на ромеев в Трояновой земле. И ничего не было бы, если б варяги вели наших воинов на Троянову землю, так как мы могли и сами их вести.

Тысячу лет мы отбивались от ромеев и готов. И Сурью антскую, которая была с нами, мы никогда не забудем, и то, как готы соединились с гуннами против нас. И Гуларех напал с полночи, а гунны – с полдня. И тут заплакала Русколань, Борусия» потому что гунны соединились (сроились) с готами. Тут Русь поднялась своей силой и отразила гуннов, сотворив Край Антов и Скуфь [14 - Край Антов – по историку Иордану, «могущественнейшие из антов живут близ лукоморья Понта от Днестра до Днепра». Скуфь Киевская – земля Киевская.] Киевскую.

И до сего дня из-за сражений сердце наше обливается кровью от утра до вечера. И ходили мы, и роняли слезы о судьбе нашей жизни. И не были мы немые (?) в час тот, и ведали, что придет время, когда мы должны будем идти на сечу с врагами – будь то греки либо гунны. И только если нас охмутать (?) и охранять, тогда лишь не будет у нас врагов, которые – мерзость перед очами нашими. Гуларех же заплатил за то, и должны мы принудить Хорсунь заплатить за слезы дочерей наших уведенных и сынов, взятых как дань. И плата та же – не серебром и не золотом, поскольку следует отсекаать их головы и «рубать их в щепу» (!).

//-- 14-III --//

И вот другой враг Германарех пришел на нас с севера. Он внучатый внук Отореха. Новые враги с рогами на лбах на нас напали. А варяги говорят нам, чтобы мы шли на них. Но мы не станем воевать на оба поля, ведь (и варяги, и готы) – враги, и мы не можем разделить между ними – кто из них первый.

И вот языги пришли на нас с Танаиса (Дона) и Тмутаракани с сильной конницей и бесчисленной ратью. И тьма за тьмой потекла и продолжала течь на нас. И не имели мы иной помощи, кроме как от богов. Боги повелели нам – и удесятерились силы, и потекли мы на них.

Это Белобог повел наши рати и конницу. И тут мы увидели бывших в лесах волшебников, пришедших к рати и взявших мечи. И видели мы кудесников, творящих великое чудо, как из перстов, поднятых к небу, встают рати небесные. И текут они на врагов и ввергают их в могилу. И тут мы видели птиц великих, летящих к нам. И бросается на врагов, бьет крыльями Матерь Сва и кличет нам, чтобы мы шли за землю нашу, и бились за очаги нашего племени, ибо мы – русичи.

Собирайтесь и теките, братья наши, – племя за племенем, род за родом! И боритесь с врагами на земле нашей, как и надлежит нам и никогда иным. Здесь и умрите, но не поворачивайте назад! И ничто вас не утешит, и ничего с вами не станется, потому что вы в руках Сварожьих. И он поведет вас во всякий день к схваткам и сражениям многим.

И каждый раз, когда приходил враг на нас, мы сами брали мечи и одерживали победы. Было возведено от Матери Сва, что будущее наше – славно. И мы притекали к смерти, как к празднику. Было предсказано это нам в старые времена, когда у нас были храмы свои в Карпатах, когда мы (Принимали купцов – арабов и иных. И те гости почитали Радогощ, и мы брали в те дни пошлину и собирали ее честно, потому что чтили богов. И нам было поведено чтить их. И мы имели на то указание в наше время, чтобы мы не принимали шаткую (веру) и отцам нашим почести воздавали, а не просто от безделья приходи-ли к деревьям.

И будут руки наши утруждены не от плуга, а от тяжелых мечей, так как нам поведено идти к границам нашим и стеречь их от врагов. И вот дымы, воздымаясь, текут к небу. И это означает скорбь великую для отцов, детей и матерей наших. И это означает – пришло время борьбы. И мы не смеем говорить о других делах, а только об этом. И вот пришли варяги к Днепру, и забрали землю нашу, и увели людей. И земля теперь под ними.

Не угоняйте людей! А если не согласитесь на это, испробуете наши мечи. Отвадьте Рюрика от земель наших, гоните его с глаз долой туда, откуда пришел.

И вот границы наши врагами сокрушены, и землю нашу попирает враг. И это обязанность наша (защищать землю), и мы не желаем иной рати.

//-- 9б-I --//

Готы же были тогда в крае зеленом и немного опередили отцов наших, идущих от Ра-реки. Ра-река великая отделяет нас от иных людей и течет в море Фасисте (Каспийское).

Тут муж рода Белояру перешел на ту сторону Ра-реки и упредил там синьских купцов, идущих к фряженцам, поскольку гунны на острове своем поджидали гостей-купцов и обирали их.

И было это за полстолетия до Алдореха. А еще раньше этого был род Белояров сильным. И от гуннов торговцы прятались за мужами Белояровыми и говорили, что дают серебро и два коня золота, чтобы пройти и избежать угрозы гуннской, и так пройти мимо готов, также суровых в битве, и дойти до Днепра. И кони у них бесчисленны, и дважды они берут дань. И потому после купцы, стекавшиеся к нам, вернулись в Китай и не пришли больше никогда.

Аварское иго, Хазарский каганат, приход варягов

//-- 4а-I --//

И вот грядет с силами многими Дажьбог на помощь людям своим. И не имеем мы страха, поскольку издревле, как и сейчас, он печется о тех, о ком заботился, когда хотел того. И так мы ожидали дня своего – того, о котором имели (предвестие?). И вот был Воронежцем местом, где готы усилились. А Русь там билась, и в том граде нас было мало. И так после битвы, сожегши его в прах, и пепел ветрами развеявши во все стороны по полям, (готы) место сие оставили. Не благословляйте ту землю русскую! Не озирайтесь на нее, но и не забывайте ее! Там же кровь отцов наших лилась, и потому мы по праву приходили туда. И от этого Воронежца слава течет по Руси, и ее Сварог имеет.

Берите ее всеми силами, возвратите ее со своими князьями, освободите блаженную русскую землю! Ибо это прекрасные пашни, которые могут дать пропитание – ругу для князей и для огнищан – их слуг. (Сделаем так, чтобы) от нее имели те, кто освободит ее в сече, ругу особую – еду и питье, которую будут давать от своего времени и до смерти.

И полегли они. И так многие сложили кости свои на равнине, и мы получили урок так же, как анты во времена Мезенмира. И мы, славу поющие богам, так и называемся славянами, мы никогда не просили ничего, лишь славу пели. И когда моление творили, омывали телеса наши и рекли славу, а также...

//-- 4б-I --//

...пили сурью – напиток во славу (богов), пять раз в день огонь зажигали (в святилищах) – жгли Дуб. И также Сноп величали и говорили хвалу ему, ибо мы – Дажьбоговы внуки и не смели противиться славе своей.

А несколько веков тому назад мы были антами на русской равнине, а в древности были русами – и ныне пребываем ими. ...вот на Волынь пришли и, придя, бились с врагами, так как мы – храбрые. Та Волынь – (место) первейшего Рода. И тогда осерчали вои, и анты Мезенмира одержали победу над готами, развеяли их на все стороны. А за ними потекли гунны, жаждущие славных коров, и была борьба с ними суровой. И тут готы соединились с гуннами, и с ними на отцов наших напали, и были разбиты нами и уничтожены. Затем пришли обры и князя нашего убили. И так сине море отошло от Руси. Боги русские не берут ни жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, на травах забродившую, и мед, и никогда живую птицу, рыб. И это варяги и эллины дают богам жертву иную и страшную – человеческую. Мы же не желали делать это, так как мы сами – Дажьбогоны внуки и не стремились красться по стонам чужеземцев.

//-- 4а-II --//

И был в степи боярин Скотень, живший своим трудом, и не попал он под власть хазар. И потому что был он иранцем, он попросил помощь у иранцев. И они прислали конницу и разбили (хазар). Рассказывают, что некоторые русичи остались под хазарами, а некоторые добрались до града Киева и там поселились. Те же русичи, кто не хотел ходить под хазарами, пошли к Скотеню.

И так Русь собралась на равнине (?). Иранцы издревле с нас не брали дань, а также разрешали русским жить по-русски. А хазары русичей брали на работы, взимали с нас дань, и брали и детей, и жен, и очень зло били, и творили зло.

И тут готы пришли и напали на Русь, а Скотень был рядом... И он препоясался мечом, и пращурь наши выступили против них, и тогда иранская конница потекла к ним и разбила готов. И были готы рассеяны и бежали с поля, ибо кровь тут лилась русская, черемная. И землю ту мы забрали. Растеклась Русь в готской земле, и мечами мы уничтожили всякого, и земли их себе присвоили.

И тут хазары напали на нас, утративших вече, и «пояли» нас. И тут русичи ринулись в битву, как львы, говоря: «Мы пропали, если о нас не позаботится Перун». И он помог нам. И готы были побеждены, а до них первыми – хазары были низвержены в прах и рассеяны. И тут Русь затихла, но говорили мы: это ли еще будет...

Хазары же убежали до Волги, Дона и Донца. И там срам они поимели, и повергли мечи свои в землю, и потекли, куда глаза глядят. И в тот раз готы переместились, и отошли на север, и там изгнали язов, идя далее, ибо Русь устроилась на их земле, взятой и реками русской крови политой.

Мы пришли, чтобы говорить, и сказали мы, придя, о милости божеской. И хвалим мы Дажьбога нашего и Перуна за то, что они были с нами. И так впервые воспели мы славу богам на той земле, которую нарекли затем Русколань. И на той земле мы имели большие заботы, и была утверждена земля наша. И хазары боялись подходить к земле той и никогда не нападали на Русколань, опасаясь, что утвердятся готы.

//-- 4в-II --//

Русь же узрела землю ту. До этого времени пришли в Киев варяги с торговцами и побили хазар. Хазары же обратились к Скотеню, чтобы он оказал им помощь. Но Скотень это отверг и сказал, что вы сами себе поможете, а также то, что им в Русколани нечего делать около нас.

Тогда вражья сила пришла на земли Воронежца. В древности Воронежца этот много веков строился и был огражден от окрестных нападений. (И тогда) варяжцы приходили к Воронежцу брать его, и так стала Русь отгороженной от запада Солнца. И некоторые пошли к Сурье на юг отвоевывать Сурож-град... у моря, где треки имели укрепленный град Сурожь.

Белояр Криворог был в то время русским князем и белого голубя выпускал. Куда тот летит, туда идти. А полетел он к грекам, и Криворог напал на них и разбил их. Тут греки, как лисы, стали вертеть хвостом, давая Криворогу золотое руно и коней серебряных. И тот Криворог остался в Сурожи. Греки же были в Голуни, а Криворог (не?) догадался, что Русь открыта там. И тогда греки напустили на нас воинов в железных бронях и побили нас. Много было пролито крови русичей вниз на землю, и не было числа стенаниям русским.

Ильмерцы говорили, что мы – глупцы, они бы прибежали к нам на помощь... Так почтем же память тех, которые полегли в землю русскую и удобрили ее и стали своими для наших старцев-праотцов, тех, которые отдали силы свои Руси. На сечах с врагами их кровь удобряла землю нашу. Они же суть те, которые с Перуном ковали на наковальне мечи на врагов наших. Мы же им помолимся, и они нам помогут.

//-- 46-II --//

Многие воины с мечами шли с нами, и также они потрудились, и от того мы стали вольными и грозными, как и пращурь наши. И Велес научил их землю пахать, а также сеять зерно, ибо хотели наши пращурь стать огнищанами и быть земледельцами. Говорим же это, как говорят в нашей земле, но не как греки, жаждущие русской земли из корысти. Булгары (?) начали... должны свой скот водить в полях злчных. И должны были избирать старшего из рода в род, и так было бы правильно. (Но) за десять веков забыли мы, кто свои, и потому роды стали жить особыми племенами, так образовались поляне, а на севере – древляне, они же все русичи из Русколани, которые разделились как безумные. И из-за того пришла на Русь усобица. А в другое тысячелетие мы подверглись разделению, и тогда убыло самостоятельности и пришлось отрабатывать чужим дань; вначале – готам, которые крепко нас обдирали, а затем – хазарам, которые убивали. Явился каган, и он не радел о нас. Вначале он пришел с купцами на Русь, и были они велеречивы, а потом стали злы и стали русичей притеснять.

И мы стали говорить: «Куда мы пойдём от них? Где будем мы вольными? Мы сиры весьма, и рука божеская от нас отвратилась, ибо тысячу двадцать лет не могли мы сотворить Русь, и потому к нам пришли варяги и забрали у нас эти места».

Мы – сыновья великой Руси, которая создавалась от севера, так как не было у нас иной возможности. Мы собрались в лесах ильмерских, куда пришла небольшая часть людей из Киева, ибо в нем уселись варяги, которые суть – хищники, повесившие Свентояров. И сделали они это, чтобы увидели мы тело боярина Гордыни нашего, который поразил готов вместе со Скотичем. И было это славное деяние после прихода славянских людей на Русь после десяти столетий и трех лет, ибо, нагдея и грабя, они на нас напали. И было это, когда Свентояр, один из князей, которого выбрали бorusичи в Русколани, взял русколан, и (алан?), и бorusов, и вооружил их, и пошел на готов из Воронежца, и было их десять тысяч отборных конных воинов и ни одного пешего. И так набросился на них, и была сеча злой и краткой. И она становилась все суровой к вечеру, и готы были поражены.

//-- 7Г-II --//

И так вели мы роды, куда говорила птица. Греческая лиса хитростями отвернула нас от трав наших, объяснив нам, что солнце нам вредит. Но и тут количество (народа) у нас умножилось, а не уменьшилось.

И вот после тысячи трехсот лет от Карпатского исхода Аскольд злой пришел к нам. Тут согнулся народ мой от ладони его (?), и сделал он так, что любой пошел под стяги наши. Захвачены врагами мы можем быть на Руси, но Сварог – Бог наш, а не иные боги, а без Сварога мы не имеем ничего, кроме смерти. А она не страшила нас, коль мы на нее были обречены, ибо Сварог звал нас, и мы шли к нему.

И вот мы шли, ибо Матерь Сва пела песнь ратную, и должны мы были ее слушать, чтобы не пришлось отдавать грекам наши травы и скот наш. А они нам каменя дают грызть, потому что у нас зубы очень твердые и острые. Это нам говорят сами враги, что мы страшно рычали по ночам на людей, которые суть греки. И спрашивали нас народы: кто есть мы? И мы отвечали им, что мы – люди, не имеющие края, и правят нами греки и

варяги. И что же мы поведаем детям нашим, которые нам будут плевать в глаза – и будут правы?

И вот дружина собралась под наши стяги, и скажем мы всякому, что не должны мы есть, будучи на поле брани, чтобы мы отбирали греческую еду, а не брали то, что не съедим (с собой). Ибо Матерь Сва поет над нами, и должны мы стягам нашим дать трепетать на ветру, а коням нашим – скакать по степям.

И подняли мы прах военный за собой и дали врагам вдохнуть его. И в тот первый день сечи имели мы двести убитых за Русь. Вечная им слава! И приходили к нам люди, но не имели мы бояр, чтобы прийти...

//-- 7д-II --//

...и справить тризну славную по врагам.

Налетим соколами на Хорсунь, чтобы взять еду, и добро, и скот, но не будем греков полонить. Они же нас знают как злых, но мы – добрые на Руси. И не будет с нами тот, кто, взяв чужое, говорит, что делает добро. И не будем мы такими, как они, ведь нас ведет наша Ясунь, и потому постараемся трудами нашими победить всех врагов до единого.

Словно соколы нападём на них и бросимся в грозную битву, ибо Матерь Сва поет во Сварзе о подвигах ратных. Мы ушли от своего дома, и потекли мы на врагов, и дали им отведать русского меча, (и увидели они) как секут ясуни. Не говорите же, что мы не могли ничего иного делать, а только идти вперед. Не должны мы это говорить, ибо не могли мы повернуть вспять перед (Матерью) Сва. И быстро мы шли, а кто быстро идет, тот имеет славу, а кто идет потише, на того вороны каркают и куры клещут. Но мы не быки, а русы чистые.

И это иным научение, они теперь будут знать, что Правь в союзе с нами, а Нави мы не боялись, потому что Навь не имеет силы против нас. И потому мы должны были стараться и молить богов о помощи в трудах ратных наших.

И вот Матерь Сва бьет крылами о подвигах ратных и о славе воинов, которые испили воды живой от Перуницы в крутой сече. И эта Перуница прилетала к нам, и она давала рог, полный воды жизни вечной, (любому) воину нашему, пораженному мечом и потерявшему буйную голову. И так смерть мы не имели, но имели жизнь вечную, и братья-вожди трудились для братьев.

//-- 8/1-III --//

И вот мы покорились иным, потому что был голод, и мы были сырими и нищими. Те же железо наточили, чтобы наши животы вспороть. От этого все и произошло, и потому были сырими и нищими. Аскольд и Рюрик по Днепру ходят и людей наших вызывают на бой. Но так как мы Дира имели у себя, мы не хотели сами идти к ним.

И это будет нам уроком, чтобы мы осознали наши ошибки, чтобы все было иначе в наше время. И вот Аскольд воинов своих посадил на ладьи и пошел грабить в другие места. И стало так, и пошел он на греков, чтобы уничтожить города их и приносить жертвы богам в их землях. Но нам не следует делать так, ибо Аскольд не русич, а варяг, и хочет он поправить мощь русскую, но погибнет, делая зло. И Рюрик не русич, потому что он, как лис, рыскал с хитростью в степи и убивал купцов, которые ему доверялись. Мы на старые погребалища ходили и там размышляли, где лежат наши пращурсы под травой зеленой. И теперь мы поняли, как быть и за кем идти.

//-- 14-III --//

Было возвещено от Матери Сва, что будущее наше – славно. И мы притекали к смерти, как к празднику. Было предсказано это нам в старые времена, когда у нас были храмы свои в Карпатах, когда мы принимали купцов – арабов иных. И те гости почитали Радогощ, и мы брали в те дни пошлину и собирали ее честно, потому что чтили богов. И нам было поведено чтить их. И мы имели на то указание в наше время, чтобы мы не принимали шаткую (веру) и отцам нашим почести воздавали, а не просто от безделья приходили к деревьям. И будут руки наши утруждены не от плуга, а от тяжелых мечей, так как нам поведено идти к границам нашим и стеречь их от врагов. И вот дымы, воздымаясь, текут к

небу. И это означает скорбь великую для отцов, детей и матерей наших. И это означает – пришло время борьбы. И мы не смеем говорить о других делах, а только об этом. И вот пришли варяги к Днепру, и забрали землю нашу, и увели людей. И земля теперь под ними.

Не угоняйте людей! А если не согласитесь на это, испробуете наши мечи. Отвадьте Рюрика от земель наших, гоните его с глаз долой (?) туда, откуда пришел.

И вот границы наши врагами сокрушены, и землю нашу попирает враг. И это обязанность наша (защищать землю), и мы не желаем иной рати.

//-- 6е-II --//

Время было весьма спокойное, дни же те были ясные, и сушь была у нас суровая. И потому жатва та не уродилась, и мы ушли в иную землю и там задержались.

Русь была растоптана греками и римлянами, которые шли по берегам морским до Сурожи. И там создали они сурожский край, ибо там был град Сурожь, подданный Киеву. И было это создание не добрым, а злым, потому что из-за него начались битвы. И тут впервые варяги пришли на Русь. Аскольд силою разгромил нашего князя и победил его. Аскольд, а после него – Дир уселись у нас как непрошенные князья. И они начали княжить над нами и стали вождами самого Огнебога, очаги хранящего. И потому отвратил он лик свой от нас, что мы имели князя, крещенного греками. Аскольд – темный воин и так сегодня греками просвещен, что никаких русов нет, а есть варвары. Но мы это могли осмеять, так как были же кимры, также наши отцы, и они римлян потрясали, а греков разметали, как испуганных поросят!

//-- 6э-II --//

Тот вождь предлагал каждому по его потребности. Но тут наступала или засуха, или иная беда. А этот Аскольд приносил жертвы чу-жим богам, а не богам нашим, как было заведено отцами нашими – и не должно быть по-иному! А греки хотят нас окрестить, чтобы мы забыли богов наших и так обратились к ним, чтобы стричь с нас дань, подобно пастырям, стекающимся в Скифию.

Не позволяйте волкам похищать агнцев, которые суть дети Солнца! Трава зеленая – это знак божеский. Мы должны собирать ее в сосуд для осушивания, дабы на собраниях наших воспевать богов в мерцающем небе и отцу нашему Дажьбогу жертву творить. А она в Ирии уже священна во сто крат.

## **МОЛЕНИЕ ДАНИИЛА ЗАТОЧНИКА<sup>31</sup>**

### **О произведении:**

*«Моление Даниила Заточника» — одно из самых загадочных произведений древнерусской литературы. Первый публицистический памфлет в истории Руси дошел до нас только в многочисленных редакциях, которые были созданы на протяжении 4 веков — с 13 по 17. Но не одна из них не воспроизводит первоначальный текст.*

*Исследователи уверены, что писали «Моление» несколько десятков человек. Причем каждый из них не только сохранял и продолжал стиль первого автора, но и приносил в него что-то свое. В итоге в последней редакции произведения перед нами предстает образ такого «универсального человека» — специалиста во всех областях знаний — ремесленника, воина, коневода, княжеского приспешника, хлеботорга и эрудита своего времени, который сыпал афоризмами, как придворный скоморох: «Железо уваришь, а злы жены не научишь»; «Яко же олово гинет часто разливаемо, тако и человек, приемля многие беды»; «Злато сокрушается огнем, а человек напастями»;*

*«Пшеница много мучима чист хлеб являет, а в печали обретает человек ум совершен»; «Яко же невод не удержит воды, так и ты, княже, не воздержи злата, ни сребра, но раздавай людям».*

---

31 Перевод Д.С.Лихачёва

## Загадка автора

Кто же был тем самым первым автором «Моления»? Кто этот Даниил? И кто его «заточил»? История о том умалчивает. Из текста произведения мы можем узнать, что обращается его автор к некому князю — всемогущему и всемилостивому — «орлу среди птиц», «льву среди зверей» (снова сатира?), который, тем не менее, сослал (заточил) его на некий остров, где он у озера живет в бедности, но с «мудростью великой».

Существует версия, что Даниила Заточника на самом деле не было, что автор произведения — некий собирательный образ — типа Козьмы Пруткова, олицетворение такой коллективной мудрости русских летописцев, которые (каждый в свое время) решили потешиться над доверчивыми читателями.

И вот мы, спустя века и даже тысячелетия, читаем эти рассуждения: «Что злее льва среди четвероногих и что лютее змеи среди ползающих по земле? Всех тех злее злая жена!» и боимся представить и автора произведения, и его жену. А он всего лишь подшучивал над доверчивыми читателями. И что самое удивительное — эта немного шокирующая и грубая ирония понятна нам и сегодня.

Впрочем, и то, что автор был не серьезен, — всего лишь версия. Выводы каждый из нас может сделать самостоятельно — прочтя выдержки из знаменитого текста...

## Из первых уст

«Ибо, господине, богатый муж везде ведом — и на чужбине друзей имеет, а бедный и на родине ненавидим ходит. Богатый заговорит — все замолчат и после вознесут речь его до облак; а бедный заговорит — все на него закричат. Чьи одежды богаты, тех и речь чтима».

«Княже мой, господине! Избавь меня от нищеты этой, как серну из сетей, как птицу из западни, как утенка от когтей ястреба, как овцу из пасти львиной».

...

«Но поставь сосуд гончарный под капельницу языка моего, да накаплет тебе слаще меду слова уст моих. Как Давид сказал: «Сладки слова твои, лучше меда они устам моим». Ибо и Соломон сказал: «Слова добрые сладостью напоят душу, покрывает же печаль сердце безумного».

«Ибо мудрого мужа посылай — и мало ему объясняй, а глупого посылай — и сам вслед не ленись пойти. Очи мудрых желают блага, а глупого — пира в доме. Лучше слушать спор умных, нежели совета глупых. Наставь премудрого, и он еще мудрее станет».

«Неужели скажешь мне: „Женись у богатого тестя, чести ради великой; у него пей и ешь“? Лучше бы уж мне вола бурого ввести в дом свой, чем злую жену взять: вол ведь не говорит, ни зла не замышляет, а злая жена, когда ее бьешь, бесится, а когда кроток с ней — заносится, в богатстве гордой становится, а в бедности других злословит».

«Хорошая жена — венец мужу своему и беспечалие, а злая жена — горе лютое и разорение дому. Червь дерево точит, а злая жена дом своего мужа истощает. Лучше в дырявой ладье плыть, нежели злой жене тайны поведать: дырявая ладья одежду замочит, а злая жена всю жизнь мужа своего погубит». «Лучше камень бить, нежели злую жену учить; железо переплавивши, а злой жены не научишь».

*«Ибо злая жена ни ученья не слушает, ни священника не чтит, ни Бога не боится, ни людей не стыдится, но всех укоряет и всех осуждает».*

*«Что злее льва среди четвероногих и что лютее змеи среди ползающих по земле? Всех тех злее злая жена. Нет на земле ничего лютее женской злобы. Сперва из-за жены прадед наш Адам из рая был изгнан; из-за жены Иосиф Прекрасный в темницу был заключен, из-за жены пророка Даниила в ров ввергли, где львы ему ноги лизали. О, злое, острое оружие дьявола и стрела, летящая с ядом!»*

*«У некоего человека умерла жена, он же по смерти ее начал продавать детей. И люди сказали ему: „Зачем детей продаешь?“ Он же ответил: „Если родились они в мать, то, как подрастут, меня самого продадут“».*

Слово Даниила Заточника, написанное им своему князю Ярославу Владимировичу

Вострубим, как в златокованные трубы, во все силы ума своего, и заиграем в серебряные органы гордости своею мудростью. Восстань, слава моя, восстань в псалтыри 1 и в гусях. Встану рано и расскажу тебе. Да раскрою в притчах загадки мои и возведу в народах славу мою. Ибо сердце умного укрепляется в теле его красотой и мудростью.

Был язык мой как трость 2 книжника-скорописца, и приветливы уста мои, как быстрота речная. Того ради попытался я написать об оковах сердца моего и разбил их с ожесточением, как древние - младенцев о камень.

Но боюсь, господине, осуждения твоего.

Ибо я как та смоковница проклятая 3: не имею плода покаяния; ибо имею сердце - как лицо без глаз; и ум мой - как ночной ворон, на вершинах бодрствующий; и закончилась жизнь моя, как у ханаанских царей, бесчестием; и покрыла меня нищета, как Красное море фараона 4.

Все это написал я, спасаясь от лица бедности моей, как рабыня Агарь от Сарры 5, госпожи своей.

Но видел, господине, твое добросердечие ко мне и прибег к всегдашней любви твоей. Ибо говорится в Писании: просящему у тебя дай, стучащему открой, да не отвергнут будешь царствия небесного; ибо писано: возложи на Бога печаль свою, и тот тебя пропитает веки.

Ибо я, княже господине, как трава чахлая, растущая под стеною, на которую ни солнце не сияет, ни дождь не дождит; так и я всеми обижаем, потому что не огражден я страхом грозы твоей, как оплотом твердым.

Не смотри же на меня, господине, как волк на ягненка, а смотри на меня, как мать на младенца. Посмотри на птиц небесных - не пашут они, не сеют, но уповают на милость Божию; так и мы, господине, ищем милости твоей.

Ибо, господине, кому Боголюбове 6, а мне горе лютое; кому Белоозеро 7, а мне оно смолы чернее; кому Лаче-озеро 8, а мне, на нем живя, плач горький; кому Новый Город, а у меня в доме углы завалились, так как не расцвело счастье мое.

Друзья мои и близкие мои отказались от меня, ибо не поставил перед ними трапезы с многообразными яствами. Многие ведь дружат со мной и за столом тянут руку со мной в одну солонку, а в несчастье становятся врагами и даже помогают подножку мне поставить; глазами плачут со мною, а сердцем смеются надо мной. Потому-то не имей веры к другу и не надейся на брата.

Не лгал мне князь Ростислав, когда говорил: "Лучше мне смерть, нежели Курское княжение"; так и мужи говорят: "Лучше смерть, чем долгая жизнь в нищете". Как и Соломон говорил: "Ни богатства, ни бедности не дай мне, Господи: если буду богат, - гордостью вознесусь, если же буду беден, - задумаю воровство или разбой", как женки распутство.

Вот почему взываю к тебе, одержим нищетою: помилуй меня, потомок великого царя Владимира, да не восплачусь, рыдая, как Адам о рае; пусти тучу на землю убожества моего.

Ибо, господине, богатый муж везде введом - и на чужбине друзей имеет, а бедный и на родине ненавидим ходит. Богатый заговорит - все замолчат и после вознесут речь его до облак; а бедный заговорит - все на него закричат. Чьи одежды богаты, тех и речь чтима.

Княже мой, господине! Избавь меня от нищеты этой, как серну из сетей, как птицу из западни, как утенка от когтей ястреба, как овцу из пасти львиной.

Я ведь, княже, как дерево при дороге: многие обрубают ему ветви и в огонь кидают; так и я всеми обижаем, ибо не огражден страхом грозы твоей.

Как олово пропадает, когда его часто плавят, так и человек, когда он много бедствует. Никто ведь не может ни пригоршнями соль есть, ни в горе разумным быть; всякий человек хитрит и мудрит о чужой беде, а в своей не может рассудить. Злато плавится огнем, а человек напастьми; пшеница, хорошо перемолотая, чистый хлеб дает, а человек в напасти обретает ум зрелый. Моль, княже, одежду ест, а печаль - человека; печаль человеку кости сушит.

Если кто в печали человеку поможет, то как студеной водой его напоит в знойный день.

Птица радуется весне, а младенец матери; весна украшает землю цветами, а ты оживляешь людей милостию своею, сирот и вдовиц, вельможами обижаемых.

Княже мой, господине! Покажи мне лицо свое, ибо голос твой сладок и образ твой прекрасен; мед источают уста твои, и дар твой как плод райский.

Когда услаждаешься многими яствами, меня вспомни, хлеб сухой жующего; или когда пьешь сладкое питье, вспомни меня, теплую воду пьющего в укрытом от ветра месте; когда же лежишь на мягкой постели под собольими одеялами, меня вспомни, под одним платком лежащего, и от стужи оцепеневшего, и каплями дождевыми, как стрелами, до самого сердца пронзаемого.

Да не будет сжата рука твоя, княже мой, господине, на подаяние бедным: ибо ни чашею моря не вычерпать, ни нашими просьбами твоего дому не истощить. Как невод не удерживает воды, а только рыб, так и ты, княже, не удерживай злата и серебра, а раздавай людям.

Паволока, расшитая разноцветными шелками, красоту свою показывает; так и ты, княже, множеством своей челяди честен и славен во всех странах являешься. Некогда ведь похвалился царь Иезекииль 9 перед послами царя вавилонского и показал им множество золота и серебра; они же сказали: "Наш царь богаче тебя не множеством золота, но множеством воинов: ибо воины золото добудут, а золотом воинов не добыть". Как сказал князь Святослав, сын Ольгин, когда шел на Царьград с небольшою дружиною: "Братья! нам ли от этого города погибнуть или городу от нас быть пленену?" Как Бог повелит, так и будет: погонит один сто, а от ста побегут тысячи. Тот, кто надеется на Господа, не дрогнет вовек, как гора Сион 10.

Славно за бугром коней пасти, так и в войске хорошего князя воевать. Часто из-за беспорядка полки погибают. Видел: огромный зверь, а головы не имеет, так и многие полки без хорошего князя.

Гусли ведь настраиваются перстами, а тело крепится жилами; дуб силен множеством корней, так и град наш - твоим управлением.

Ибо щедрый князь - отец многим слугам: многие ведь оставляют отца и мать и к нему приходят. Хорошему господину служба, дослужиться свободы, а злому господину служба, дослужиться еще большего рабства. Ибо щедрый князь - как река текущая без берегов через дубравы, поит не только людей, но и зверей; а скупой князь - как река в берегах, а берега каменные: нельзя ни самому напиться, ни коня напоить. Боярин щедрый - как колодезь с пресной водой при дороге: прохожих поит; а боярин скупой - как колодезь соленый.

Не имей себе двора близ царева двора и не держи села близ княжого села: ибо тиун его - как огонь, на осине разожженный, а рядовичи 11 его - что искры. Если от огня и устережешься, то от искр не сможешь устережться и одежду прожжешь.

Господине мой! Не лиши хлеба нищего мудрого, не вознеси до облак глупого богатого. Ибо нищий мудрый - что золото в грязном сосуде, а богатый разодетый да глупый - что шелковая подушка, соломой набитая.

Господине мой! Не смотри на внешность мою, но посмотри, каков я внутри. Я, господине, хоть одеянием и скуден, но разумом обилен; юн возраст имею, а стар смысл во мне. Мыслию бы парил, как орел в воздухе.

Но поставь сосуд гончарный под капельницу языка моего, да накаплет тебе слаще меду слова уст моих. Как Давид 12 сказал: "Сладки слова твои, лучше меда они устам моим". Ибо и Соломон 13 сказал: "Слова добрые сладостью напоят душу, покрывает же печаль сердце безумного".

Ибо мудрого мужа посылай - и мало ему объясняй, а глупого посылай - и сам вслед не ленись пойти. Очи мудрых желают блага, а глупого - пира в доме. Лучше слушать спор умных, нежели совета глупых. Наставь премудрого, и он еще мудрее станет.

Не сей на межах жита, ни мудрости в сердцах глупых. Ибо глупых ни сеют, ни жнут, ни в житницу не собирают, но сами себя родят. Как в дырявые меха лить, так и глупого учить; ибо псам и свиньям не нужно золота, ни серебра, а глупому - мудрых слов; мертвеца не рассмешишь, а глупого не научишь. Коли пожрет синица орла, коли поплывет камень по воде и коли начнет свинья на белку лаять, тогда и глупый уму научится.

Неужели скажешь мне: от глупости все мне это наговорил? Не видел ты неба холстяного, ни звезд из лучинок, ни глупого, говорящего мудро. Неужели скажешь мне: солгал как пес? Но хорошего пса князя и бояре любят. Неужели скажешь мне: солгал как вор? Если бы украсть умел, то к тебе бы и не жаловался. Девица ведь губит красоту свою прелюбодейством, а муж свое мужество - воровством.

Господине мой! Ведь не море топит корабли, но ветры; не огонь раскаляет железо, но поддувание мехами; так и князь не сам впадает в ошибку, но советчики его вводят. С хорошим советчиком совещаюсь, князь высокого стола добудет, а с дурным советчиком и меньшего лишится.

Говорится ведь в мирских пословицах: ни скот в скотах коза, ни зверь в зверях еж, ни рыба в рыбах рак, ни птица в птицах нетопырь, ни муж в мужах, если над ним жена властвует, ни жена в женах, если от своего мужа прелюбодействует, ни работа в работах - для женок повоз возить 14.

Дивней дивного, кто в жены возьмет уродину прибытка ради.

Видел жену безобразную, прикинувшую к зеркалу и мажущуюся румянами, и сказал ей: "Не смотришь в зеркало - увидишь безобразие лица своего и еще больше обозлишься".

Неужели скажешь мне: "Женись у богатого тестя, чести ради великой; у него пей и ешь"? Лучше бы уж мне вола бурого ввести в дом свой, чем злую жену взять: вол ведь не говорит, ни зла не замышляет, а злая жена, когда ее бьешь, бесится, а когда кроток с ней - заносится, в богатстве гордой становится, а в бедности других злословит.

Что такое жена злая? Торговка плутоватая, кощунница бесовская. Что такое жена злая? Людская смута, ослепление уму, заводила всякой злобе, в церкви сборщица дани для беса, защитница греха, заграда от спасения.

Если какой муж смотрит на красоту жены своей и на ее ласковые и льстивые слова, а дел ее не проверяет, то дай Бог ему лихорадку болеть, и да будет он проклят.

Вот и распознайте, братия, злую жену. Говорит она мужу своему: "Господине мой и свет очей моих! Я на тебя и взглянуть не могу: когда говоришь со мной, тогда смотрю на тебя, и обмираю, и слабеют все члены тела моего, и падаю на землю".

Послушайте, жены, слова апостола Павла: крест - глава церкви, а муж - жене своей. Жены, стойте же в церкви и молитесь Богу и святой Богородице; а чему хотите учиться, то учитесь дома у своих мужей. А вы, мужья, в законе храните жен своих, ибо нелегко найти хорошую жену.

Хорошая жена - венец мужу своему и беспечалие, а злая жена - горе лютое и разорение дому. Червь дерево точит, а злая жена дом своего мужа истощает. Лучше в дырявой ладье плыть, нежели злой жене тайны поведать: дырявая ладья одежду замочит, а злая жена всю жизнь мужа своего погубит. Лучше камень бить, нежели злую жену учить; железо переплавишь, а злой жены не научишь.

Ибо злая жена ни ученья не слушает, ни священника не чтит, ни Бога не боится, ни людей не стыдится, но всех укоряет и всех осуждает.

Что злее льва среди четвероногих и что лютее змеи среди ползающих по земле? Всех тех злее злая жена. Нет на земле ничего лютее женской злобы. Сперва из-за жены прадед наш Адам из рая был изгнан; из-за жены Иосиф Прекрасный в темницу был заключен 15, из-за жены пророка Даниила в ров ввергли 16, где львы ему ноги лизали. О, злое, острое оружие дьявола и стрела, летящая с ядом!

У некоего человека умерла жена, он же по смерти ее начал продавать детей. И люди сказали ему: "Зачем детей продаешь?" Он же ответил: "Если родились они в мать, то, как подрастут, меня самого продадут".

Но вернемся к прежнему. Я, княже, ни за море не ездил, ни у философов не учился, но был как пчела - припадая к разным цветам и собирая мед в соты; так и я по многим книгам собирал сладость слов и смысл их и собрал, как в мех воды морские.

Скажу не много еще. Не запрещай глупому глупость его, да не уподобишься сам ему. Не стану с ним много говорить. Да не буду как мех дырявый, роняя богатство в руки неимущих; да не уподоблюсь жерновам, ибо те многих людей насыщают, а сами себя не могут насытить житом; да не окажусь ненавистным миру многословною своею беседою, подобно птице, частящей свои песни, которую вскоре же ненавидеть начинают. Ибо говорится в мирских пословицах: длинная речь не хороша, хороша длинная паволока.

Господи! Дай же князю нашему силу Самсона 17, храбрость Александра 18, разум Иосифа, мудрость Соломона, искусность Давида 19, и умножь, Господи, всех людей под пятою его. Богу нашему слава, и ныне, и присно, и вовеки.

#### ПРИМЕЧАНИЯ Л.А.Дмитриева

1 Псалтырь - здесь: название музыкального инструмента.

2 Трость - здесь: орудие письма.

3 Евангельский сюжет: Христос, входя в Иерусалим, проклял смоковницу (фиговое дерево), не приносящую плодов.

4 Имеется в виду библейский рассказ о гибели войск египетского фараона в водах Красного моря. Перед преследуемыми египетским фараоном израильтянами воды Красного моря расступились, и они прошли по дну моря. Когда же вслед за ними в пределы моря вступили войска фараона, морские воды сомкнулись и потопили их.

5 Библейский сюжет: бесплодная жена Авраама Сарра предложила Аврааму взять в наложницы свою служанку Агарь. Агарь, зная, что скоро будет матерью, стала презирать Сарру. Сарра, с позволения Авраама, решила "смирить" Агарь. Обиженная Агарь убежала, но встретившийся ей на пути ангел вернул ее к Аврааму.

6 Боголюбово - резиденция (осн. в 1158 г.) князя Андрея Боголюбского в 10 км от города Владимира.

7 Белоозеро - на западе Вологодской области.

8 Лаче озеро - в Архангельской области, на его берегу расположен город Каргополь.

9 Иезекииль - еврейский царь; согласно библейской легенде, вместо того чтобы прославлять бога за свое чудесное выздоровление, показывал свои богатства послам вавилонского царя. За это вместе с потомками потерпел кару от бога.

10 Сион - гора близ Иерусалима.

11 Рядовичи - закабаленные люди, заключившие договор ("ряд") со своим господином и работающие у него.

12 Давид - царь Израильско-Иудейского государства (конец XI-начало X в. до н.э.). Его деяния отличаются отвагой, мудростью и хитроумием. Отец Соломона.

- 13 Соломон - третий царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965- 928 гг. до н.э.), сын царя Давида, изображается в Библии величайшим мудрецом.
- 14 Повоз возить - обязанность доставлять дань или оброк в назначенное место.
- 15 По библейской легенде, Иосиф Прекрасный, оклеветанный женой своего господина Потифара, к которому он попал после того как был продан братьями в рабство, был заключен в темницу.
- 16 По библейской легенде, пророк Даниил был брошен в ров со львами, которые стали лизать ему ноги. Но мотива женской клеветы в библейском рассказе нет.
- 17 Самсон - библейский герой, наделенный необычайной силой.
- 18 Имеется в виду величайший полководец древности Александр Македонский (356-323 гг. до н.э.).
- 19 Иосиф отличался остротой ума и прозорливостью; Соломон - см. примечание 13.; Давид - см. примечание 12.

## Голубиная книга

### **О произведении:**

*Андрей Топорков Голубиная книга из грозовой тучи  
Небесный стих о том, отчего в мире правды нет*

*Духовные стихи чрезвычайно интересное и своеобразное явление русского народного творчества. Они практически не изучались в нашей стране более 70 лет - с 1917 года до начала 1990-х. Отсутствие внимания к этому фольклорному жанру, конечно, не было случайным. Трудно отыскать более убедительные свидетельства того, насколько органической, неотъемлемой частью народной жизни стало христианство. Распеваемые по большей части неграмотными или полуграмотными "каликами переходжими", духовные стихи предназначались главным образом для людей, не искушенных в тонкостях веры, и вольно или невольно приспособлялись к их восприятию. Наряду с церковной службой и иконописью духовные стихи представляли собой своеобразную "Библию для неграмотных".*

*Среди прямых или опосредованных источников духовных стихов - книги Ветхого и Нового Завета, произведения церковной гимнографии, сочинения отцов церкви, жития христианских подвижников, так называемые "покаянные стихи" XV-XVII веков и др. Усваиваемые народной культурой в течение многих столетий христианские образы наслаивались на местные языческие представления. При этом наряду с каноническими текстами на Русь широким потоком шла и апокрифическая литература, а границы между дозволенным и "отреченным" были весьма зыбкими и условными. Неудивительно, что представления о событиях и персонажах священной истории, которые доносят до нас духовные стихи, весьма далеки от канонических. Например, София Премудрая оказывается матерью Егория Храброго, а архангел Михаил перевозит через огненную реку души умерших, выступая в роли древнегреческого Харона.*

*География духовных стихов наглядно опровергает ходячее мнение о культурной изоляции Древней Руси: здесь и Стих о Голубиной книге с его палестинским колоритом, и история "индейского царевича" Иоасафа, и житие римлянина Алексея человека Божия, и борьба Егория Храброго с вавилонским царем Дектианищем. Среди этого необозримого пространства для исполнителей духовных стихов есть два особых места, в которых сгустились красота и святость мира, - это Иерусалим и Русская земля. Святая Русь в духовных стихах - понятие не столько географическое, сколько нравственно-религиозное. Она обустроена Егорием Храбрым, украшена церквами и добродетелями православных*

подвижников. Согласно народным легендам, Христос с апостолами до сих пор странствуют по Руси.

Одним из самых замечательных и в то же время загадочных произведений русской народной поэзии остается Стих о Голубиной книге. Наиболее ранние его рукописные списки относятся к XVII веку, однако происхождение стиха по ряду косвенных признаков относят ориентировочно к концу XV - началу XVI века и связывают с псковско-новгородским краем<sup>2</sup>. В XIX веке Стих о Голубиной книге бытовал преимущественно на севере России, отчасти в средней полосе, а также в Белоруссии; в южнорусских областях и на Украине он неизвестен.

Стих о Голубиной книге во многом опирается на письменную традицию, и все же как целостное произведение он таит в себе некую тайну. И его происхождение, и смысл самого выражения "Голубиная книга" в значительной степени остаются неясными и до сих пор вызывают разные толкования.

Согласно традиционному объяснению, название "Голубиная книга" образовано от более древнего "Глубинная книга" по ассоциации с голубем как символом Святого духа. "Глубиной" (в смысле "глубина премудрости") издавна именовали Псалтырь, а возможно, и "Беседу трех святителей" - переводной апокрифический памятник. В Житии Авраамия Смоленского (XIII век) говорится о том, что некоторые считали Авраамия еретиком и обвиняли его в чтении "глубинных книг". Впрочем, современные исследователи предлагают и иные объяснения. В. Н. Топоров сопоставил выражение "Глубинная книга" с названием произведения иранской литературы "Бундахшин" (буквально - "сотворение основы, глуби"). А. А. Архипов предположил, что изначально все же является форма "Голубиная" (а не "глубинная") книга и что под этим названием подразумевалось Пятикнижие. По мнению Архипова, оно было поименовано так в результате того, что древнееврейское название Пятикнижия - *sefer tora* ("книга закона", "книга Торы") было осмыслено как *sefer tor*, то есть "книга горлицы", "книга голубя"<sup>3</sup>.

Обратимся непосредственно к содержанию Стиха о Голубиной книге. В начале Стиха с небес падает на землю гигантская книга, в которой изложены все тайны мироздания:

Из-под той страны из-под восточных  
выставала туча темная, грозная;  
да из той из тучи грозной, темной,  
выпадала книга Голубиная.

На славную она выпала на Фавор-гору,  
ко чудну кресту животворящему,  
ко тому ко камню ко белатырю,  
ко честной главы ко Адамовой<sup>4</sup>.

Хотя гора, на которую упала Голубиная книга, названа Фавором, она совмещает в себе черты Фавора, где произошло Преображение Господне, с чертами Голгофы (здесь находятся крест Господень и череп Адама). А то, что Голубиная книга выпадает из грозовой тучи, заставляет вспомнить и еще об одной священной горе - Синае, на котором Бог вручил Моисею каменные скрижали Завета ("На третий день, при наступлении утра, были громы, и молнии, и густое облако над горою..." - Исход 19, 16).

Голубиная книга так велика, что ее не обзреть очами, не осмыслить умом, да и на руках никак не удержать.

Писал эту книгу свят Исай-пророк,  
читал эту книгу Иван Богослов.

Он читал эту книгу ровно три года,  
прочитал во книге только три листа.

Образ небесной книги непосредственно восходит к апокрифическим "Вопросам Иоанна Богослова Господу на горе Фаворской" (греческий оригинал датируется временем не ранее V века, русские списки известны с XV века, а в самих "Вопросах" восходит к Апокалипсису (5, 1-9)). Согласно апокрифу, после вознесения Иисуса Христа на небо Иоанн пришел на

гору Фавор и стал молиться о том, чтобы Господь рассказал ему, когда совершится второе пришествие и что будет тогда с землей и небесными светилами. После семидневной молитвы Иоанна Богослова светлое облако "восхитило" его на небо. Иоанн увидел книги, запечатанные семью печатями, толщина их семь гор, "долгота же ум человек не может разумети". В этих книгах написано обо всем, что создано "от века", о том, что есть на небе, и на земле, и в преисподней, и о всяком дыхании небесном и земном, правда и кривда, добро и зло. Господь рассказывает Иоанну Богослову о последних временах, втором пришествии и Страшном суде, когда с книг будут сорваны печати<sup>5</sup>. Весьма вероятно также, что образ небесной книги связан и с ветхозаветными апокрифами "Книга Еноха", "Видение пророка Исайи", а также с другими текстами, описывающими путешествия пророков по небесным сферам.

К Голубиной книге съехались 40 царей и царевичей, князей и князевичей, в том числе Волотоман Волотоманович и Давид Евсеевич. Имя Волотоман встречается в легендах о царе Соломоне; вероятно, оно переделано из имени Птоломей (Птоломей - Втоломей - Вотоломан - Волотоман); впрочем, не исключена также ассоциация с древнерусским "волотом" - великаном. Ну а Давид Евсеевич - это, как легко догадаться, пророк Давид, сын Иессея, легендарный автор Псалтыри.

Основная часть Стиха о Голубиной книге представляет собой диалог между Волотоманом Волотомановичем и другими царями, с одной стороны, и Давидом Евсеевичем - с другой. В этом отношении Стих отчасти следует за "Беседой трех святителей", также построенной в форме вопросов и ответов Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Первый и, конечно, важнейший вопрос, который Волотоман Волотоманович задает Давиду Евсеевичу, - это вопрос о происхождении мира:

Ты еще, государь наш, нам про то скажи:

отчего начался у нас белый свет;

отчего у нас солнце красное;

отчего у нас млад светел месяц;

отчего у нас звезды частыя;

отчего у нас зори светлыя?

"Премудрый царь Давид Евсеевич" излагает в ответ версию, которая весьма далека от той, что изложена в книге "Бытия" и является канонической:

Начился бел свет от Свята Духа,

От Свята Духа, самого Христа,

Самого Христа, Царя Небёсного.

Солнце красное от лица Божья,

Млад светёл месяц от грудей Божьих,

звезды частыя - оны от риз Божьих,

зори светлыя от очей Божьих,

самого Христа, Царя Небёсного.

Стих о Голубиной книге говорит только о происхождении тех природных объектов, которые имеют световую природу: это солнце, месяц, звезды, зори и сам белый свет. Они не создаются божеством, а как бы порождаются из тела Христа, который отождествляется при этом со Святым Духом. Сказалось здесь и влияние иконописи, в частности иконографии Преображения Христова ("И преобразился пред ними: и просияло лице его как солнце, одежды же его сделались белыми как свет" - Матфей 17, 2).

За повествованием о творении мира следует рассказ о появлении общества и его социальной структуры:

Зачадились цари со царицами

от честной главы от Адамовой;

зачадились князья со боярами

*от честных мощей от Адамовых;  
завелось крестьянство православное  
от того колена от Адамова.*

*Этот фрагмент имеет большое сходство с древнеиндийским "Гимном Пуруше" (Ригведа X, 90), согласно которому четыре касты произошли из тела первочеловека: "Его рот стал брахманом, / Его руки сделались раджанья, / Его бедра стали вайшья, / Из рук родился шудра"<sup>6</sup>. Такое сходство говорит о глубоких мифологических корнях данного фрагмента Стиха о Голубиной книге.*

*Между тем цари продолжают допытываться у Давида Евсеевича:*

*...Который у нас город городам мать;  
и которая церква над церквями мать,  
и который царь над царями царь?*

*Премудрый царь знает ответы и на эти вопросы:*

*Иерусалим-город городам мать...  
А стоит Иерусалим-город посреди земли,  
посреди земли, во ней пуп земной.  
Во начальном граде, в Иерусалиме,  
тут состроена церковь соборная;  
во этой церкви во соборныя,  
в ней содержится гробница Господня.  
Она на воздушях, сама на вознесях.*

*Речь здесь идет о храме Воскресения Христа, построенном на Голгофе. По распространенным средневековым преданиям, именно в этом храме находится пуп (средоточие) земли. Легенда о висящей гробнице Христа передавалась многими паломниками в Святую землю. Можно также отметить, что для духовных стихов характерно противоречивое представление о местонахождении Христа: он одновременно и пребывает на небесах, и покоится на земле в своей гробнице.*

*На третий вопрос Давид Евсеевич (быть может, несколько неожиданно для библейского пророка) отвечает, что "наш белый царь над царями царь", явно имея в виду русского царя. В некоторых вариантах Стиха о Голубиной книге специально отмечаются религиозные добродетели царя, который "верует веру крещеную" и "стоит за дом Богородицы".*

*Следующий цикл вопросов посвящен тому, какая "земля всем землям мать", "какая гора всем горам мать" и "которое древо всем древам мать". Можно уже догадаться, что самая главная земля - "Святая Русь-земля".*

*Иукрашена свята Русь-земля Божьим церквям,  
на ней строятся церкви соборныя,  
потому она всем землям мать.*

*Образ Русской земли, украшенной церквями, возникает и в других духовных стихах. Как это и свойственно религиозному сознанию, представление о святости устойчиво сопряжено с представлением о красоте.*

*Главной горой в Стихе назван Фавор, не раз уже упомянутый нами, а главным деревом - кипарис, потому что именно из него был вырезан крест, на котором распяли Христа. В культуре Средиземноморья кипарис, как вечнозеленое дерево, считался символом смерти и одновременно бессмертия; его часто сажали на могилах.*

*Далее Давид Евсеевич отвечает на вопросы о море, озере и реке.*

*У нас киянь-море всем морям мать...*

*Обошло киянь-море вокруг земли,  
вокруг земли, всей подселенныя,  
потому киянь-море над морями мать.*

Представление об Океане как о громадной реке, окружающей кольцом землю, восходит к древним землеописаниям; оно широко бытовало в Византии и вместе с переводными памятниками распространилось и на Руси.

Главное озеро - это Ильмень, но не тот Ильмень, который под Новгородом Великим, а тот, из которого "протекает матушка Иордань-река". Слово ильмень в Стихе о Голубиной книге, по-видимому, заменило более раннее Ирмень, а то в свою очередь восходит к названию горы Ермон, с которой на самом деле начинается Иордан<sup>7</sup>. Ну а всем рекам мать, естественно, Иордан, ибо "во славной матушки во Иордань-реки / окрестился в ней сам Иисус Христос".

Следующий цикл вопросов касается живой природы:

...которая у нас рыба над рыбам мать,  
и которая птица над птицам мать,  
и который зверь над всем зверями зверь?

Кит над всеми рыбами мать, ибо

на трех китах, на рыбах,  
на тридцати было на малых,  
основана на них вся сыра земля  
и содержится вся подселенная...

Представление о том, что земля покоится на трех больших и 30 маленьких китах, изложено в соответствии с "Беседой трех святителей", куда оно попало, по-видимому, из более древних апокрифов.

Над всеми птицами мать "стрефил-птица":

Сидит стрефил-птица посреде моря;  
она плод плодит во синё море,  
а полёт сама держит по поднебесью.

После полуночи во втором часу,  
как стрефил-птица - она трепехнется,  
запоют куры у нас по всей земли;  
просвещается тогда вся вселенная...

Название птицы восходит к греческому названию страуса, однако описание птицы имеет в виду не страуса, а соединяет свойства мифических птиц, носящих в древнерусских памятниках различные названия: алконост, струфокамил, пеликан и др.<sup>8</sup> Например, в статье "О всей твари" из рукописного сборника 1531 года сходные атрибуты приписаны птице по имени "кур"<sup>9</sup>.

Главный зверь Стиха о Голубиной книге не менее мифологичен, чем рыба и птица:

Единорог-зверь над всем зверям зверь...

Живет единорог - во Святой горы,  
он проход имеет по подземелью,  
прочищает все ключи источные.

Когда единорог-зверь поворотится,  
воскипят ключи все подземельные,  
потому единорог-зверь всем зверям зверь.

Ему все цари поклонилися.

Характеристика единорога восходит к описанию "водного царя" в "Беседою трех святителей", а та в свою очередь опиралась на материал славянских "Физиологов" и "Азбуковников". Как и в случае со страфил-птицей, единорогу приписываются свойства других мифических зверей - "индрика" и "еньдрона".

Начав с небесных светил, Стих о Голубиной книге завершает обзор мироздания камнем и травой. Всем камням мать таинственный "белатырь-камень":

На том камне-белатыре,

*на нем беседовал сам Иисус Христос  
со двум-на-десяти со апостолам.*

*Утверждали веру христианскую,  
распущали книгу Голубиную  
по всей земли подселенныя,  
потому белатырь камням мать.*

*Название камня белатырь образовано в результате слияния словосочетаний бел латырь или бел алатырь. Слово алатырь, по-видимому, восходит к древнегреческому названию янтаря (старое книжное илектронъ). Этот камень постоянно фигурирует в русских заговорах. Представления об алатыре имеют сложную природу и соединяют христианские и языческие элементы. В Стихе о Голубиной книге белатырь - это камень, за которым Спаситель возлежал с апостолами во время Тайной вечери и на котором было установлено таинство Евхаристии. Несколько странный оборот - "...распущали книгу Голубиную..." - возможно, объясняется символическим сближением образов книги и голубя.*

*А всем травам мать плакун-травя:  
Когда был роспят сам Иисус Христос,  
Тогда шла Мать Пресвятая Богородица  
ко своему сыну ко распятому.*

*Она ронила свои слезы пречистыя  
на матушку на сыру-землю.*

*От еёных слез от пречистых  
зарождалась на земли плакун-травя.*

*Название плакун-травя в народной ботанике относится к ряду растений, но особенно устойчиво к папоротнику, который, по поверьям, цветет один раз в году и обладает чудесными свойствами. Считалось, что человеку, который хочет, чтобы его боялись, следует вырезать крест из корня плакун-травы и носить его с собой.*

*В заключительных эпизодах Стиха о Голубиной книге диалог от вопросов религиозных и "натуралистических" переходит к этическим проблемам. Царь Волотоман Волотоманович рассказывает про свой сон и просит Давида Евсеевича его разгадать:*

*- Государи, братцы, сорок царей,  
что случилось в моем во чистом поле;  
быть два зайчика собегалися -  
один серенький был, другой беленький,  
и промежду собой оны подралися.*

*Быть как серый белого приобидел же:  
пошел беленький во чисто поле,  
пошел серенький во темны леса. -*

*Тогда все цари приумолкнули.*

*Им ответ держал на то премудрый царь,  
наш премудрый царь Давид Евсеевич:*

*- То не зайчики в поле собегалися,  
тут сошлася кривда со правдою,  
и промежду собою оны подралися.*

*Нонечь кривда правду приобидела:  
пошла правда на вышния небеса,  
а кривда оставалась на сырой земли,  
по всему народу православному.*

*Она пала нам всем на ретиво сердце,  
оттого у нас в мире стало правды нет,  
стали беззакония великия.*

*Русская земля свята и прекрасна, ею правит великий белый царь, она украшена многими церквами, однако правда ее покинула и ушла на небеса, а осталась на ней одна кривда, оттого и стали у нас "беззакония великия". Таков пессимистический вывод Стиха о Голубиной книге.*

#### *Примечания*

1. Федотов Г. П. *Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам*. М. 1991.
2. Каган М. Д. *Голубиная книга//Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. Часть 1. А-З*. СПб. 1992. С. 216-219.
3. Архипов А. А. *Голубиная книга: Wort und Sache//Механизмы культуры*. М. 1990. С. 68-98.
4. Варенцов В. *Сборник русских духовных стихов*. СПб. 1860. С. 19. Стих о Голубиной книге далее цитируется по этому изданию без специальных сносок.
5. Тихонравов Н. С. *Памятники отреченной русской литературы*. М. 1863. Т. 2. С. 174-181.
6. *Ригведа: Избранные гимны*. М. 1972. С. 260. Пер. Т. Я. Елизаренковой.
7. Мочульский В. *Историко-литературный анализ Стиха о Голубиной книге*. Варшава. 1887. С. 131-133.
8. Белова О. В. *Славянский бестиарий: Словарь названий и символики*. М. 2000. С. 52.
9. Тихонравов Н. С. *Указ. соч.* С. 349-350.

1

Восходила туча сильна, грозная,  
Выпадала книга Голубиная,  
И не малая, не великая:  
Долины книга сороку сажень,  
Поперечины двадцати сажень.  
Ко той книге ко божественной  
Сходилися, соезжались  
Сорок царей со царевичем,  
Сорок князей со князевичем,  
Сорок попов, сорок дьяконов,  
Много народу, людей мелкиих,  
Християн православных,  
Никто ко книге не приступится,  
Никто ко Божьей не пришатнется.  
Приходил ко книге премудрый царь,  
Премудрый царь Давыд Евсеевич:  
До Божьей до книги он доступается,  
Перед ним книга разгибается,  
Все божественное писание ему объявляется.  
Еще приходил ко книге Володимир-князь,  
Володимир-князь Володимирович:  
«Ты, премудрый царь, Давыд Евсеевич!  
Скажи, сударь, проповедуй нам,  
Кто сию книгу напisyвал,  
Голубину кто напечатывал?»  
Им ответ держал премудрый царь,  
Премудрый царь Давыд Евсеевич:  
«Писал сию книгу сам Исус Христос,  
Исус Христос, Царь Небесный;  
Читал сию книгу сам Исай-пророк,

Читал он книгу ровно три года,  
Прочитал из книги ровно три листа».  
«Ой ты, гой еси, наш премудрый царь,  
Премудрый царь Давыд Евсеевич!  
Прочти, сударь, книгу Божию.  
Объяви, сударь, дела Божие,  
Про наше житие, про святорусское,  
Про наше житие свету вольного:  
От чего у нас начался белый вольный свет?  
От чего у нас солнце красное?  
От чего у нас млад-светел месяц?  
От чего у нас звезды частые?  
От чего у нас ночи темные?  
От чего у нас зори утренни?  
От чего у нас ветры буйные?  
От чего у нас дробен дождик?  
От чего у нас ум-разум?  
От чего наши помыслы?  
От чего у нас мир-народ?  
От чего у нас кости крепкие?  
От чего телеса наши?  
От чего кровь-руда наша?  
От чего у нас в земле цари пошли?  
От чего зачались князья-бояры?  
От чего крестьяны православные?»  
Возговорит премудрый царь,  
Премудрый царь Давыд Евсеевич:  
«Ой ты, гой еси, Володимир-князь,  
Володимир-князь Володимирович!  
Не могу я прочесть книгу Божию.  
Уж мне честь книгу – не прочесть Божью:  
Эта книга не малая, .  
Эта книга великая;  
держать – не сдержать будет,  
На налой положить Божий – не уложится.  
Умом нам сей книги не сосметити  
И очам на книгу не обозрити:  
Великая книга Голубиная!  
Я по старой по своей по памяти  
Расскажу вам, как по грамоте:  
У нас белый вольный свет. зачался от суда Божия  
Солнце красное от лица Божьего,  
Самого Христа, Царя Небесного;  
Млад-светел месяц от груди его,  
Звезды частые от риз Божиих,  
Ночи темные от дум Господних,  
Зори утренни от очей Господних,  
Ветры буйные от Свята Духа,  
Дробен дождик от слез Христа,  
Самого Христа, Царя Небесного.  
У нас ум-разум самого Христа,  
Наши помыслы от облац небесных,

У нас мир-народ от Адамия,  
Кости крепкие от камня,  
Телеса наши от сырой земли,  
Кровь-руда наша от черна моря.  
От того у нас в земле цари пошли:  
От святой главы от Адамовой;  
От святых мощей от Адамовых;  
От того крестьяны православные:  
От свята колена от Адамова».  
Возговорит Володимир-князь,  
Володимир-князь Володимирович:  
«Премудрый царь Давыд Евсеевич!  
Скажи ты нам, проповедай:  
Который царь над царями царь?  
Кая земля всем землям мати?  
Кая глава всем главам мати?  
Который город городам отец?  
Кая церковь всем церквам мати?  
Кая река всем рекам мати?  
Кая гора всем горам мати?  
Который камень всем камням мати?  
Кое древо всем древам мати?  
Кая трава всем травам мати?  
Которое море всем морям мати?  
Кая рыба всем рыбам мати?  
Кая птица всем птицам мати?  
Который зверь всем зверям отец?»  
Возговорит премудрый царь,  
Премудрый царь Давыд Евсеевич:  
«У нас Белый царь – над царями царь.  
Почему ж Белый царь над царями царь?  
И он держит веру крещеную,  
Веру крещеную, богомольную,  
Стоит за веру христианскую,  
За дом Пречистыя Богородицы, -  
Потому Белый царь над царями царь.  
Святая Русь-земля всем землям мати:  
На ней строят церкви апостольские;  
Они молятся Богу распятому,  
Самому Христу, Царю Небесному,-  
Потому свято-Русь-земля всем землям мати.  
А глава главам мати – глава Адамова,  
Потому что когда жиды Христа  
Распинали на лобном месте,  
То крест поставили на святой главе Адамовой.  
Иерусалим-город городам отец.  
Почему тот город городам отец?  
Потому Иерусалим городам отец:  
Во тем во граде во Иерусалиме  
Тут у нас среда земле.  
Собор-церковь всем церквам мати.  
Почему же собор-церковь всем церквам мати?

Стоит собор-церковь посреди града Иерусалима,  
Во той во церкви соборней  
Стоит престол божественный;  
На том на престоле на божественном  
Стоит гробница белокаменная;  
Во той гробнице белокаменной  
Почивают ризы самого Христа,  
Самого Христа, Царя Небесного,-  
Потому собор-церква церквам мати.  
Ильмень-озеро озерам мати:  
Не тот Ильмень, который над Новым градом,  
Не тот Ильмень, который во Цареграде,  
А тот Ильмень, который в Турецкой земле  
Над начальным градом Иерусалимом.  
Почему ж Ильмень-озеро озерам мати?  
Выпадала с его матушка Иордань-река.  
Иордань-река всем рекам мати.  
Почему Иордань-река всем рекам мати?  
Окрестился в ней сам Исус Христос  
Со силою со небесною,  
Со ангелами со хранителями,  
Со двенадцатьми апостольми,  
Со Иоанном, светом, со Крестителем,-  
Потому Иордань-река всем рекам мати.  
Фавор-гора всем горам мати.  
Почему Фавор-гора горам мати?  
Преобразился на ней сам Исус Христос,  
Исус Христос, Царь Небесный, свет,  
С Петром, со Иоанном, со Иаковом,  
С двенадцатью апостолами,  
Показал славу ученикам своим,-  
Потому Фавор-гора горам мати.  
Белый латырь-камень всем камням мати.  
На белом латыре на камени  
Беседовал да опочив держал  
Сам Исус Христос, Царь Небесный,  
С двенадцати со апостолам,  
С двенадцати со учителям;  
Утвердил он веру на камени,  
Распушал он книгу Голубиную  
По всей земле, по вселенная,-  
Потому латырь-камень всем камням мати.  
Кипарис-древо всем древам мати.  
Почему то древо всем древам мати?  
На тем древе на кипарисе  
Объявился нам животворящий крест.  
На тем на кресте на животворящем  
Распят был сам Исус Христос,  
Исус Христос, Царь Небесный, свет,-  
Потому кипарис всем древам мати.  
Плакун-трава всем травам мати.  
Почему плакун всем травам мати?

Когда жидовья Христа распяли,  
Святую кровь его пролили,  
Мать Пречистая Богородица  
По Иисусу Христу сильно плакала,  
По своему сыну по возлюбленном,  
Ронила слезы пречистые  
На матушку на сыру землю;  
От тех от слез от пречистых  
Зарождалася плакун-трава.-  
Потому плакун-трава травам матери.  
Океан-море всем морям матери.  
Почему океан всем морям матери?  
Посреди моря океанского  
Выходила церковь соборная,  
Соборная, богомольная,  
Святого Климента, попа римского:  
На церкви главы мраморные,  
На главах кресты золотые.  
Из той из церкви из соборной,  
Из соборной, из богомольной,  
Выходила Царица Небесная;  
Из океана-моря она омывалася,  
На собор-церковь она Богу молилася,-  
От того океан всем морям матери.  
Кит-рыба всем рыбам матери.  
Почему же кит-рыба всем рыбам матери?  
На трех рыбах земля основана.  
Стоит кит-рыба – не сворохнется;  
Когда ж кит-рыба поворотится,  
Тогда мать-земля восколыбнется,  
Тогда белый свет наш покончится,-  
Потому кит-рыба всем рыбам матери.  
Основана земля Святым Духом,  
А содержится Словом Божиим.  
Стратим-птица всем птицам матери.  
Почему она всем птицам матери?  
Живет стратим-птица на океане-море  
И детей производит на океане-море.  
По Божьему все повелению  
Стратим-птица вострепенется,  
Океан-море восколыхнется;  
Топит она корабли гостинные  
Со товарами драгоценными,-  
Потому стратим-птица всем птицам матери.  
У нас индрик-зверь всем зверям отец.  
Почему индрик-зверь всем зверям отец?  
Ходит он по подземелью,  
Прочищает ручьи и проточины:  
Куда зверь пройдет,- Туда ключ кипит;  
Куда зверь тот поворотится,-  
Все звери зверю поклонятся.  
Живет он во святой горе,

Пьет и ест во святой горе;  
Куды хочет, идет по подземелью,  
Как солнышко по поднебесью,-  
Потому же у нас индрик-зверь всем зверям отец».  
Возговорил Володимир-князь:  
«Ой ты, гой еси, премудрый царь,  
Премудрый царь Давыд Евсеевич!  
Мне ночесь, сударь, мало спалось,  
Мне во сне много виделось:  
Кабы с той страны со восточной,  
Кабы с другой страны со полудеиной,  
Кабы два зверя собиралися,  
Кабы два лютые собегалися,  
Промежду собой дрались-билися,  
Один одного зверь одолеть хочет».  
Возговорил премудрый царь,  
Премудрый царь Давыд Евсеевич:  
«Это не два зверя собиралися,  
Не два лютые собегалися,  
Это Кривда с Правдой соходилися,  
Промежду собой бились-дрались,  
Кривда Правду одолеть хочет.  
Правда Кривду переспорила.  
Правда пошла на небеса  
К самому Христу, Царю Небесному;  
А Кривда пошла у нас вся по всей земле,  
По всей земле по свет-русской,  
По всему народу христианскому.  
От Кривды земля восколебалася,  
От того народ весь возмущается;  
От Кривды стал народ неправильный,  
Неправильный стал, злопамятный:  
Они друг друга обмануть хотят,  
Друг друга поесть хотят.  
Кто не будет Кривдой жить,  
Тот причаянный ко Господу.

2

Да с начала века животленного  
Сотворил Бог небо со землею,  
Сотворил Бог Адама со Еввою,  
Наделил питаньем во светлом раю,  
Во светлом раю жити во свою волю.  
Положил Господь на их заповедь великую:  
А и жить Адаму во светлом раю,  
Не искушать Адаму с едного древа  
Того сладка плоду Виноградова.  
А и жил Адам во светлом раю,  
Во светлом раю со своею со Еввою

А триста тридцать три годы.  
Прелестила змея подколотная,  
Приносила ягоды с едина древа,-  
Одну ягоду воскушал Адам со Еввою  
И узнал промеж собою тяжкой грех,  
А и тяжкой грех и великой блуд:  
Согрешил Адаме во светлом раю,  
Во светлом раю со своею со Еввою.  
Оне тута стали в раю нагим-наги,  
А нагим-наги стали, босешуньки,-  
Закрыли соромы ладонцами,  
Пришли оне к самому Христу,  
К самому Христу, Царю Небесному.  
Зашли оне на Фавор-гору,  
Кричат-ревут зычным голосом:  
«Ты Небесной Царь, Исус Христос!  
Ты услышал молитву грешных раб своих,  
Ты спусти на землю меня трудную,  
Что копать бы землю копарулями,  
А копать землю копарулями,  
А и сеять семена первым часом».  
А Небесный Царь, милосерде свет,  
Опускал на землю его трудную.  
А копал он землю копарулями,  
А и сеял семена первым часом,  
Вырастали семена другим часом,  
Выжинал он семена третьим часом.  
От своих трудов он стал сытым быть,  
Обуватися и одеватися.  
От того колена от Адамова,  
От того ребра от Еввина  
Пошли христиане православные  
По всей земли светорусския.  
Живучи Адаме состарился,  
Состарился, переставился.  
Свята глава погребенная.  
После по той потопе по Ноевы,  
А на той горе Сионския,  
У тоя главы святы Адамовы  
Вырастало древо кипарисово.  
Ко тому-то древу кипарпсову  
Выпадала книга Голубиная,  
Со небес та книга повыпадала:  
В долину та книга сорока пядей,  
Поперек та книга двадцати пядей,  
В толщину та книга тридцати пядей.  
А на ту гору па Сионскую  
Собиралися-соезжалися  
Сорок царей со царевичем,  
Сорок королей с королевичем,  
И сорок калик со каликою,  
И могучи-сильные богатыри.

Во единой круг становилися.  
Проговорит Волотомон-царь,  
Волотомон-царь Волотомонович,  
Сорок царей со царевичем,  
Сорок королей с королевичем,  
А сорок калик со каликою  
И все сильные-могучи богатыри  
А и бьют челом, поклоняются  
А царю Давыду Евсеевичу:  
«Ты премудрый царь Давыд Евсеевич!  
Та душа и наследует  
Себе Царство Небесное».  
Подыми ты книгу Голубиную,  
Подыми книгу, распечатывай,  
Распечатывай ты, просматривай,  
Просматривай ее, прочитывай:  
От чего зачался наш белой свет?  
От чего зачалось солнце праведно?  
От чего зачался светел месяц?  
От чего зачалась заря утрення?  
От чего зачалась и вечерняя?  
От чего зачалась темная ночь?  
От чего зачались часты звезды?»  
Проговорит премудрый царь,  
Премудрый царь Давыд Евсеевич:  
«Вы сорок царей со царевичем,  
А и сорок королей с королевичем,  
И вы сорок калик со каликою,  
И все сильны-могучи богатыри!  
Голубина книга не малая,  
А Голубина книга великая:  
В долину книга сорока пядей,  
Поперек та книга двадцати пядей,  
В толщину та книга тридцати пядей,  
На руках держать книгу – не удержать,  
Читать книгу – не прочести.  
Скажу ли я вам своею памятью,  
Своей памятью, своей старою,  
От чего зачался наш белой свет,  
От чего зачалось солнцо праведно,  
От чего зачался светел месяц,  
От чего зачалась заря утрення,  
От чего зачалась и вечерняя,  
От чего зачалась темная ночь,  
От чего зачались часты звезды.  
А и белой свет – от лица Божья,  
Солнцо праведно – от очей его,  
Светел месяц – от темечка,  
Темная почь – от затылочка,  
Заря утрення и вечерняя – от бровей Божьих,  
Часты звезды – от кудрей Божьих!»,  
Все сорок царей со царевичем поклонилися,

И сорок королей с королевичем бьют челом,  
И сорок калик со каликою,  
Все сильные-могучие богатыри.  
Проговорит Волотомон-царь,  
Волотомон-царь Волотомонович:  
«Ты премудрый царь Давыд Евсеевич!  
Ты скажи, пожалуй, свою памятью,  
Свою памятью стародавнюю:  
Да которой царь над царями царь?  
Котора моря всем морям отец?  
И котора рыба всем рыбам мати?  
И котора гора горам мати?  
И котора река рекам мати?  
И котора древа всем древам отец?  
И котора птица всем птицам мати?  
И которой зверь всем зверям отец?  
И котора трава всем травам мати?  
И которой град всем градом отец?»  
Проговорит премудрый царь,  
Премудрый царь Давыд Евсеевич:  
«А Небесной Царь – над царями царь,  
Над царями царь, то Иус Христос.  
Океан-море – всем морям отец.  
Почему он всем морям отец?  
Потому он всем морям отец,-  
Все моря из него выпали  
И все реки ему покорилися.  
А кит-рыба – всем рыбам мати.  
Почему та кит-рыба всем рыбам мати?  
Потому та кит-рыба всем рыбам мати,-  
На семи китах земля основана.  
Ердань-река – рекам мати.  
Почему Ердань-река рекам мати?  
Потому Ердань-река рекам мати,-  
Крестился в ней сам Иус Христос.  
Сионская гора-всем горам мати,-  
Растут древа кипарисовы,  
А берется сера по всем церквам,  
По всем церквам вместо ладану.  
Кипарис-древо – всем древам отец.  
Почему кипарис всем древам отец?  
Потому кипарис всем древам отец,-  
На нем распят был сам Иус Христос,  
То Небесной Царь.  
Мать Божья плакала Богородица,  
А плакун-травой утиралася,  
Потому плакун-травы всем травам мати.  
Единорог-зверь – всем зверям отец.  
Почему единорог всем зверям отец?  
Потому единорог всем зверям отец,-  
А и ходит он под землю,  
А не держут его горы каменны,

А и те-то реки его быстрые;  
Когда выйдет он из сырой земли,  
А и ищет он сопротивника,  
А того ли люта льва-зверя;  
Сошлись оне со львом во чистом поле,  
Начали оне, звери, драться:  
Охота им царями быть,  
Над всемя зверями взять большину,  
И дерутся оне о своей большине.  
Единорог-зверь покоряется,  
Покоряется он льву-зверю,  
А и лев подписан – царем ему быть,  
Царю быть над зверями всем,  
А и хвост у него колечиком.  
А нагай-птица – всем птицам мати,  
А живет она на океане-море,  
А вьет гнездо на белом камени;  
Набежали гости корабельщики  
А на то гнездо нагай птицы  
И на его детушак на маленьких,  
Нагай-птица вострепенется,  
Океан-море восколыблется,  
Кабы быстры реки разливались,  
Топят много бусы-корабли,  
Топят много червленые корабли,  
А все ведь души напрасные.  
Ерусалим-град – всем градам отец.  
Почему Ерусалим всем градам отец?  
Потому Ерусалим всем градам отец,  
Что распят был в нем Исус Христос,  
Исус Христос, сам Небесной Царь,  
Опричь царства Московского».

## Девгениево деяние

### **О произведении.**<sup>32</sup>

*Девгениево деяние. Как полагают, еще в Киевской Руси был осуществлен перевод византийской эпической поэмы о Дигенисе Акрите (акритами назывались воины, несшие охрану границ Византийской империи). На время перевода указывают, по мнению исследователей, данные языка – лексические параллели повести (в русском варианте она получила наименование «Девгениево деяние») и литературных памятников Киевской Руси, [ [48 - Кузьмина В. Д. Девгениево деяние. (Деяние прежних времен храбрых человек). М., 1960. Текст и перевод памятника см. также в кн.: Памятники литературы древней Руси. XIII век. М., 1980.] ] а также упоминание Девгения Акрита в «Житии Александра Невского». Но сравнение с Акритом появляется лишь в третьей (по классификации Ю. К. Бегунова) редакции памятника, созданной, вероятно, в середине XV в., [ [49 - См.: Begunov Ju. K. Die Vita des Fürsten Aleksandr Nevskij in der Novgoroder Literatur des 15. Jahrhunderts. – Zeitschrift für Slavistik, 1971, Bd 16, H.1, S. 88–109. Характерно, что сопоставление фразы с упоминанием Акрита с соответствующим чтением второй редакции,*

32 Из книги История русской литературы в четырех томах. Том первый. Древнерусская литература. Литература XVIII века. - О. В. Творогов Литература Киевской Руси X – начало XII века

*содержащим параллельные конструкции: «побежая везде, а непобедим николиже», разьединенные словами об Акрите в третьей редакции, выдают их вторичность.]] и не может служить аргументом в пользу существования перевода в Киевской Руси. Значительные сюжетные отличия «Девгениева деяния» от известных нам греческих версий эпоса об Дигенисе Акрите оставляют открытым вопрос, явились ли эти отличия следствием коренной переработки оригинала при переводе, возникли ли они в процессе позднейших переделок текста на русской почве, или же русский текст соответствует не дошедшей до нас греческой версии.*

*Девгений (так было передано в русском переводе греческое имя Дигенис) – типичный эпический герой. Он обладает необычайной силой (еще отроком Девгений задушил голыми руками медведицу, а, возмужав, в битвах истребляет тысячи вражеских воинов), он красив, рыцарски великодушен. Значительное место в русской версии памятника занимает рассказ о женитьбе Девгения на дочери гордого и сурового Стратиго. [50 - Стратиг – по-гречески «военачальник»; в «Девгениевом деянии» это слово становится именем отца девушки, а она сама именуется Стратигоной (в греческой версии ее имя – Евдокия).]] Эпизод этот обладает всеми характерными чертами «эпического сватовства»: Девгений поет под окнами девушки любовную песнь; она, восхищенная красотой и удалью юноши, дает согласие бежать с ним, Девгений среди бела дня увозит возлюбленную, в битве одолевает ее отца и братьев, затем мирится с ними; родители молодых устраивают многодневную пышную свадьбу.*

*Девгений сродни героям переводных рыцарских романов, распространившихся на Руси в XVII в. (таким, как Бова Королевич, Еруслан, Василий Златовласый), и, видимо, эта близость к литературному вкусу эпохи способствовала возрождению рукописной традиции «Деяния»: все три дошедших до нас списка датируются XVII–XVIII вв. [51 - Кроме того, «Девгениево деяние» вместе со «Словом о полку Игореве» входило в Мусин-Пушкинский сборник, в ту его часть, которая датируется предположительно XVI в.*

*Жила некая вдова царского рода, предалась она спасению души своей и никогда не покидала церкви. И были у нее три сына необычайной красоты, по молитвам матери своей отличавшиеся храбростью во всех деяниях своих. И была у той вдовы дочь, и сияла она прелестью и красотой лица своего. Услышал о красоте той девицы Амир, царь земли Аравийской, и собрал великое множество войска, и пришел разорять Греческую землю, а все из-за красоты той девицы. И, придя в дом той вдовы, похитил царь Амир прекрасную девицу так хитро, что никто его не увидел в Греческой земле, но видела лишь одна старая женщина из дома того; мать же сама в то время была в церкви божьей, а сыновья — в дальней стране на охоте.*

*И вернулась вдова та из божьей церкви, и не нашла прекрасной своей дочери, и стала расспрашивать в доме своем рабов и рабынь о прекрасной своей дочери, и отвечали ей все рабы дома ее: «Не знаем, госпожа, где твоя прекрасная дочь». Но только одна старая женщина из дома того все видела и сказала госпоже своей вдове: «Пришел, госпожа, Амир, царь Аравийской земли, и хитростью своей похитил дочь твою, а нашу госпожу, и простыл след его в земле нашей».*

*Услышав об этом от рабыни своей, стала вдова рвать на себе волосы, и царапать лицо, и оплакивать прекрасную свою дочь, приговаривая: «Увы мне, несчастной вдовице, если бы были сыновья мои дома, пустились бы вслед царю Амиру, и нагнали бы его, и отняли бы сестру свою». В скором времени вернулись домой сыновья ее и, увидев, что плачет мать их, стали вопрошать мать свою: «Скажи нам, мать наша, кто тебя обидел: уж не царь ли или властитель города нашего? Только не быть нам живым, если кто посмеет тебя обидеть».*

Отвечала им мать их: «Дети мои милые, никто из горожан меня не обидел, но вот имели вы одну сестру, и та теперь оказалась в руках Амира, царя Аравийской земли, и оборвалось сердце мое, и пронзило меня, словно копьем. А теперь заклинаю вас, дети мои возлюбленные, да не нарушите вы заповеди моей: отправляйтесь, и догоните Амира-царя, и отнимите у него свою красавицу сестрицу. Если же сестры своей не добудете и сами там головы сложите за сестрицу свою, то я оплачу всех вас, ибо останусь бездетной». И отвечали ей сыновья ее: «Мать наша милая, не печалься ты об этом, благослови нас и помолись за нас, и тотчас же пустимся в путь».

И препоясались оружием своим, и сели на коней своих, и помчались, как златокрылые ястребы, а кони под ними словно летели. И достигли рубежа Сарацинской земли, и встретили некоего сарацина, несшего стражу, и начали братья его расспрашивать: «Поведай нам, братьям, далеко ли до стана вашего царя Амира?» Сарацин же обнажил меч свой и смело поскакал на них, думая, что они трусливы, и не ведая о их смелости. Поскакал навстречу ему младший брат, и схватил сарацина за горло, и привез его к братьям своим, и хотел его убить. Но сказал старший из братьев: «Братья моя милая, зачем нам о сарацина меч свой осквернять, мы оскверним его о самого Амира-царя — ведь тот перед нами виноват». А того сарацина привязали к дереву на горе, а сами поехали той же дорогой и повстречали множество других стражей царя Амира у большой реки, называемой Багряница; было же их всего числом три тысячи. Увидели братья многочисленную стражу Амира-царя, и сказал им старший брат: «Братья моя милая! Всем ли вместе ехать нам против стражей Амира-царя?» И отвечал средний брат: «Братья моя милая! Это многочисленная стража Амира-царя, и мы разъедемся по-одному». Старший брат поехал с правого края, средний — на передовой отряд, а меньший заехал слева, и поскакали на Амировых стражей, и начали их избивать, словно добрые косцы траву косить: каких изрубили, а каких связали, и привели их на высокую гору, и погнали перед собой, как хороший пастух овец, и пригнали их на гору, и перебили. Только трем мужам оставили жизнь, с тем чтобы они проводили их к Амиру-царю. И стали их расспрашивать: «Скажите нам, сарацины, в городе ли пребывает ваш царь Амир или вне его?» Отвечали им сарацины: «Господа наши, трое братьев! Амир, царь наш, за городом стоит, в семи поприщах от него, и там возле города стоит у него множество шатров, а в каждом из шатров вмещается по несколько тысяч сильных и храбрых витязей: любой из них против ста выезжает». И сказали им братья: «Братья сарацины! Если бы мы не боялись бога, давно бы вас смерти предали; но спрашиваем вас: скажите, каков шатер Амира, царя вашего?» Отвечали же сарацины: «У Амира-царя шатер червлёный, а по низу кайма зеленая, а весь шатер расшит золотом и серебром и жемчугом и драгоценными камнями украшен, а у брата его шатер синий, а по низу кайма зеленая, и также шатер золотом и серебром украшен, и многие другие шатры стоят, а в них находятся многие витязи, у царя в год получают они жалования по тысяче и по две тысячи, сильны и храбры: один против ста врагов выезжает». Братья отпустили тех трех сарацин к Амиру, царю их. И сказали им: «Передайте весть о нас Амиру-царю, чтобы не сказал потом царь Амир, что мы пришли на него тайно». И сказали братья сарацинам: «Отправляйтесь вы восвояси». Сарацины же обрадовались своему освобождению и рассказали обо всем царю своему.

Услышав об этом, царь Амир ужаснулся и, призвав витязей своих, сказал им: «Братья мои, могучие витязи! Видел я ночью сон, будто бы три ястреба бьют меня крыльями своими и едва не изранили мое тело; это значит, что те братья придут и начнут с нами воевать». В это время приехали братья к шатру Амира-царя и начали звать царя Амира: «Царь, выйди вон из шатра, расскажи нам, Амир-царь, почему же ты не умеешь по дорогам заставы расставлять, мы ведь приехали к шатру твоему беспрепятственно; а теперь поведай нам, как пришел и похитил сестру нашу тайно? Если бы мы в ту пору

были дома, то не смог бы ты ускакать с сестрой нашей, а умер бы смертью злою, да и вся земля твоя была бы нами покорена. А теперь отвечай нам, где сестра наша?»

Отвечал же царь Амир: «Братья мои милые! Видите эту высокую и красивую гору: вот там зарублено множество женщин и прекрасных девиц. Там же и сестра ваша зарублена, так как не исполнила она моей воли». И отвечали царю братья: «Зло тебе от нас будет!» И пошли они на ту гору искать сестру свою, мертвое тело ее, и видели на горе множество женщин и прекрасных девиц посеченных. И начали искать тело сестры своей, и увидели одну девицу необычайной красоты, и начали проливать над ней слезы, думая, что это сестра их. Но сказал им младший брат: «Братья! Нет здесь сестры нашей, не она это». И сели братья на своих коней, и громко запели песнь ангельскую господу: «Благословен господь бог наш, дающий крепость рукам нашим на битву и на брань». И решили они между собой: «Вспомним, братья, слово и приказ матери своей: днем родились мы, днем же и погибнем по велению матери своей, и головы свои сложим за сестрицу свою». И подскакали к шатру Амира-царя, и подняли шатер его на копьях.

И сказал им Амир-царь: «Братия моя милая! Отъедьте немного от шатра моего и бросьте меж собой жребий, кому из вас выпадет со мной биться; если меня одолеете, то и сестру свою возьмете; если же я вас одолею, то угодно будет мне всех вас изрубить». Отъехали братья от шатра и начали метать жребий, и когда бросили жребий в первый раз, то выпало младшему брату идти на бой. Братья же бросили жребий во второй раз, чтобы не младшему брату ехать биться с царем Амиром, так как могуч тот был; но и в другой раз выпал жребий биться младшему из братьев. Бросили они жребий и в третий раз, и снова младшему брату выпал жребий идти на бой с царем Амиром; ибо брат тот с сестрой из одной материнской утробы родились в один и тот же день.

И начали братья снаряжать младшего брата; а где стоят братья, на том месте словно солнце сияет, а где снаряжают Амира-царя, там нет света, темно, как ночью. Братья же воспели к богу ангельскую песнь: «Владыка, не выдай создания своего на поругание язычникам, да не возрадуются язычники, осквернив христианскую девицу». И сели братья на своих коней, и поехали они вместе навстречу Амиру-царю; и, встретившись, начали рубиться Амир с младшим братом на саблях и ударились с ним на копьях. Увидели сарацины и многие витязи удаль младшего брата и сказали Амиру, царю своему: «Великий господин, царь Амир! Отдай им сестру их и покорись им, ибо и младший из братьев крепость твою побеждает, если же соберутся все три вместе, то вся земля наша окажется у них в рабстве». А младший из братьев, заехав Амиру-царю со спины, ударил его промеж плеч, свалил с коня на землю, схватил за волосы и приволок к своим братьям. И закричали все сарацины царю Амиру: «Отдай им, царь Амир, сестру их, не то они тебя совсем погубят». И сказал братьям Амир-царь: «Пощадите меня, братья мои милые, ныне же крещусь я святым крещением, во имя любви к этой девице, и стану вам зятем».

Сказали же братья: «Брат наш, царь Амир! В нашей воле зарубить тебя и в нашей воле — отпустить. Но как нам за раба отдать сестру нашу? А сейчас скажи нам: где наша сестра?» И отвечал им царь Амир со слезами: «Братья мои! Видите это поле прекрасное, а там стоит множество шатров, в них и пребывает сестра ваша, а где сестра ваша ходит, там разостланы дорогие шелка, расшитые золотом, и лицо ее прикрыто драгоценным покрывалом, а стражи охраняют ее, не приближаясь к шатрам». Услышав об этом, обрадовались братья и устремились к ее шатру и подскакали к нему, а стража им ничего не сказала, думая, что это иноземцы, а не догадываясь, что это ее братья. И приблизились братья к шатру, и вошли в шатер к сестре своей, и застали ее сидящей на золоченом стуле, а лицо ее покрыто драгоценным покрывалом. И начали братья расспрашивать ее со слезами: «Расскажи нам, сестрица, о дерзости Амира-царя, если он тебя оскорбил хотя бы

единым словом, то отрубим ему голову и отвезем в Греческую землю, чтобы не стал потом похваляться, что осквернил христианскую девицу». Отвечала же девица братьям: «Ничего подобного, братья мои, не подумайте обо мне. Когда была я похищена царем Амиром, то было приставлено ко мне двенадцать кормилиц, а теперь боюсь лишь поношения от чужих людей и своих родственниц, знающих, что я была пленницей. Это я и рассказала Амиру-царю о храбрости вашей, и царь Амир всегда приезжал ко мне один раз в месяц и только издали мной любовался, лицо же мое приказал и близким его не открывать, а в шатер мой никто никогда не входил; ныне же, братья мои милые, хочу вас просить, но прежде заклинаю вас молитвою матери нашей, чтобы выслушали вы просьбу мою. Если только царь Амир действительно отречется от своей веры и тотчас же крестится святым крещением, то другого такого зятя вам и не найти, так как славой он славен, и силой силен, и мудростью мудр, и богатством богат». Отвечали же братья сестре своей: «Да соединит вас молитва материнская с царем Амиром!»

А тем временем царь Амир собрал триста верблюдов и нагрузил их дорогим золотом аравийским и прислал братьям в дар, в знак любви своей к той девице, и сказал царь Амир братьям: «Пощадите меня, братья мои, отрекусь я от веры своей, и тотчас же крещусь святым крещением во имя любви к этой девице, и буду вам зятем». И ответили братья царю Амиру: «Если хочешь стать нашим зятем, то отрекись ты от своей языческой веры ради любви к сестре нашей; крестись скорее святым крещением и приезжай к нам в Греческую землю вслед за любимой своей девицей». И сказал им Амир-царь: «Братья мои милые! Не хочу сдать вас на свой позор, чтобы не сказали обо мне греки, что, полонив зятя, в дом свой ведут. А назовусь я зятем вашим с великой славой. Хочу прежде всего поехать и собрать верблюдов со всей земли и нагрузить на них богатые дары, хочу собрать с собой сильных витязей, кто захочет перейти со мной вместе в христианскую веру; и приду к вам в Греческую землю, и нарекусь вашим зятем, и буду славен и богат. А вы не томите своих коней — подождите меня по дороге». Братья же, взяв сестру свою, отправились в путь.

А Амир-царь, приехав к матери своей и к брату своему, повел с ними хитрую речь, чтобы они его не удерживали. И сказал он матери своей: «Милая моя мать! Вот ходил я в Греческую землю и пленил там милую девицу, и пришли вслед за ней братья ее, и стали со мной биться. И один из них — младший брат — силу мою превозмог. Если же собрались бы все три брата вместе, то и вся земля наша оказалась бы у них в рабстве». Отвечала мать Амиру-царю, сыну своему, в гневе, и при этом рвала она на себе волосы, и царапала свое лицо, и кричала: «Зачем же ты именуешься царем, и сильных витязей у себя держишь, и платишь им по тысяче и по две? — так иди же, и немедленно собери войско свое, и отправляйся в Греческую землю, и победи братьев, а любимую свою девицу приведи ко мне». Амир же, лукавя, отвечал своей матери: «Мать моя, я это и хочу сделать, собрать побольше воинов своих и пойти разорять Греческую землю». И сказал брат Амиру-царю: «Пойдем, брат, скорее, собрав войско свое, и не пустим братьев с любимой твоей девицей войти в город». И отвечал Амир-царь брату своему: «Садись ты, брат, на моем престоле, а я один хочу поехать и разорить Греческую землю». И тогда посадил царь Амир брата своего на престоле своем, а сам собрал огромное войско, и собрал богатства и верблюдов со всей земли, и нагрузил на них бесценное золото аравийское и драгоценные камни. Видели сарацины, что так в поход не ходят, но не сказали ему ничего.

Дошел же царь Амир до рубежа Греческой земли и обратился царь Амир к аравитянам: «Братья мои милые, сильные и храбрые аравитяне! Кто хочет со мной показать свою доблесть, тот пусть пойдет со мной разорять Греческую землю». И ответил один из них — аравитянин, на губах у которого было двенадцать замков, и возгласил царю Амиру: «Великий государь, царь Амир! Пришли из земли Греческой в нашу землю Сарацинскую

трое юношей, и один из них силу твою превозмог, а если бы все три собрались вместе, то и земля наша оказалась бы вся у них в рабстве; а ты теперь хочешь идти на Греческую землю: так они нас всех до единого погубят!» Царь же Амир, отправив в Греческую землю верблюдов, нагруженных богатыми дарами, и взяв с собой немного витязей своих, также отправился следом в Греческую землю.

Братья же, не дойдя до Греческого города пятьдесят поприщ, остановились в поле; и стала их умолять сестра: «Братья мои милые! Избавьте меня от великого позора перед людьми и моими родичами, что была похищена Амиром-царем; подождите зятя своего нареченного — царя Амира». В скором времени пришел к ним царь Амир со всем богатством и с верблюдами, нагруженными золотом и серебром. И сказал царь Амир: «Слава богу, благоволящему мне, за то что сподобил меня лицезреть братьев моих». И сказали братья Амиру-царю: «Раб Христов, будь же нам зятем». Два брата — старший и средний — с сестрой своей поехали в город ночью, чтобы не увидел их народ, и пришли в дом матери своей; увидев же двух сыновей и дочь свою, воскликнула мать со слезами: «Сестрицу свою вы выручили, а братца своего погубили!» И сказали ей сыновья ее: «Радуйся, мать наша, и веселись, так как брат наш младший находится сейчас с зятем нашим нареченным, с царем Амиром, а сейчас ты, мать, готовь богатый брачный пир, ибо добыли мы зятя — славой он славен, и силой силен, и богатством богат, а теперь нам надо привести его к святому крещению».

И взяли они патриарха города того со всем причтом, и пришли на реку Евфрат, и приготовили там купель. И вышло из города множество народа. Братья же, увидев, что смущен царь Амир множеством народа, попросили скорее крестить Амира-царя во имя святого духа, и крестил его сам патриарх, а отцом крестным стал ему царь города того. И отправились они в дом матери своей, и начался пышный свадебный пир во славу их, а продолжались те торжества три месяца. И потом царь Амир построил для себя особые хоромы и поселился там со своей любимой девицей.

Через некоторое время услышала мать Амира-царя, что он крестился и отвергся от веры своей из-за любви к той девушке, и начала рвать на себе волосы, и собрала великое множество воинов, и обратилась к ним: «У кого хватит храбрости отправиться в Греческую землю к господину своему Амиру-царю и вывести его из Греческой земли вместе с любимой его девицею?» И отвечали ей три сарацина: «Мы, госпожа, пойдём в Греческую землю и отнесем послание твое к господину своему, царю Амиру». Она же дала им много золотых монет и дала им трех коней: один конь по кличке Ветер, второй — Гром и третий — Молния. «Когда придёте, — сказала, — в Греческую землю, и увидите господина своего, Амира-царя, и увезете его из Греческой земли, сядьте на коня по имени Ветер, и никто вас не увидит. А когда войдете в Сарацинскую землю с господином своим Амиром-царем и с девицею его любимую, то сядьте вы на Гром-коня, и тогда услышат вас все аравитяне в Сарацинской земле. А если сядете на коня Молнию, то невидимы будете в Греческой земле».

Сарацины же взяли трех коней и послание к Амиру-царю, и отправились своей дорогой, и, приехав к граду Греческому, остановились подле города в сокровенном месте, и сели на коня Молнию, и стали невидимы в Греческой земле.

В ту же ночь царица, прекрасная жена Амира-царя, увидела сон; и охватил ее страх, и поведала она братьям своим: «Братья мои милые, видела я сон: неожиданно влетел в покои мои златокрылый сокол, и схватил меня за руку, и унес меня из покоев моих, и потом прилетели три ворона, и набросились на сокола, и сокол меня отпустил».

Братья же собрали всех волхвов, и книжников, и мудрецов и поведали им сон сестры своей, и волхвы ответили братьям: «Госпожу нашу, прекрасную девицу, зять ваш новокрещенный, Амир-царь, по повелению матери своей, хочет похитить из дворца и бежать с ней в Сарацинскую землю, с любимой сестрицей вашей; а три ворона — это три сарацина, стоят под городом в потаенном месте, присланы они с письмом от матери к царю Амиру».

Братья же пошли к царю Амиру и стали его расспрашивать и укорять. Он же поклялся им именем бога живого, и тогда они, взяв царя Амира, поехали с ним за город с книжниками и мудрецами, и разыскали под городом трех сарацин, и захватили их, и начали допрашивать. Те же открыли им весь свой тайный замысел и, взяв их в город, крестили их святым крещением, и начали они жить у Амира-царя, а коней их Амир-царь роздал братьям, шуринам своим.

И потом мудрецы начали предвещать рождение Девгения, и затем жена Амира-царя приняла плод в утробе, мужского пола, и родила сына, и нарекли его Акритом. А крестив его божественным крещением, нарекли ему имя «Прекрасный Девгений», а крестил его сам патриарх, а крестной матерью была царица того города. И было в городе том два царя и четыре царевича. И потом растили Девгения-царевича до десяти лет.

## ЖИЗНЬ ДЕВГЕНИЕВА

Преславный Девгений двенадцати лет отроду стал мечом играть, а в тринадцать — копьем, а в четырнадцать лет захотел всех зверей одолеть и начал изо дня в день упрашивать отца своего и дядей: «Пойдите со мной на охоту». И сказал ему отец: «Еще молод ты, сын мой, не говори об охоте, ибо боюсь тебя, юного, утомить». И отвечал Девгений отцу своему:

«Этим, отец, не пугай меня, так как надеюсь я на бога-творца, что будет мне охота не труд, а великая утеха».

Услышал отец юноши эти слова, и собрал всех воинов и весь город, и рад был поехать с ним на охоту. И многие из того города собрались поохотиться, так как слышали об удали Девгения. И, выехав из города на охоту, отец Девгения ловит зайцев и лисиц, с ним и дядья Девгения охотятся, а он посмеялся над ними, и заехал в места нехоженые, и соскочил с коня, точно молодой сокол, надеясь на божью силу.

И бродили в камыше два медведя и медвежата с ними. И почувяла медведица юношу, выскочила ему навстречу и хотела его сожрать. А юноша, не научен еще, как зверей бить, бросился быстро ей навстречу, обхватил ее и так сдавил локтями, что все потроха ее вышли наружу, и она тут же издохла в его руках. А другой медведь убежал в камышовые заросли.

Тут окликнул Девгения дядя его: «Берегись, чадо, как бы не бросился на тебя медведь!» Обрадовался Девгений и, оставив палицу свою там, где стоял, словно быстрый сокол, налетел на медведя. Повернул медведь ему навстречу, оскалил пасть свою, норовя его сожрать. Но юноша стремглав подскочил, схватил его за голову и оторвал голову, и тотчас издох медведь в его руках. А от рева медвежьего и от крика юноши гул по лесу раскатился.

И Амир-царь крикнул сыну: «Девгений, сын мой, берегись: бежит на тебя огромный лось, а тебе негде укрыться». Услышав это, Девгений бросился, точно лев, догнал лося и, схватив за задние ноги, разорвал надвое.

«О чудо преславное, ниспосланное богом! Кто этому не дивится? Какую удачу проявил молодой отрок, догнав лося, быстрее, чем лев! От бога дана ему сила над всеми. А как победил медведя без оружия! О, чудо преславное! Видим юношу четырнадцати лет, но не обычный это человек, а самим богом создан». Так говорили между собой, и внезапно свирепый зверь выскочил из болота, из того же камыша. И увидели они юношу, и стали следить, как бы не напал на него зверь. А Девгений в правой руке нес голову лося и двух убитых медведей, а в левой — разодранного лося. И крикнул ему дядя: «Иди, чадо, сюда и брось этих мертвых. Здесь иной зверь, живой, это не то что лося разорвать надвое: это свирепый лев, с великой осторожностью подходит к нему». Отвечал ему юноша: «Господин мой, дядя! Надеюсь на творца, и на могущество божье, и на молитву родившей меня матери». И, ответив такими словами дяде, подбежал Девгений, быстро выхватил свой меч и пошел навстречу зверю. Зверь же, увидев идущего к нему юношу, зарычал, и стал бить себя хвостом по бокам, и, разинув пасть свою, прыгнул на юношу. Но Девгений ударил его мечом по голове и рассек на две половины.

И начал отец его говорить дяде: «Видишь, каково могущество божье: рассечен и лев, как перед этим лось». И быстро подбежали к Девгению отец и дядья, и начали целовать его в губы и в глаза, и целовать ему руки, и говорили ему все: «Кто не подивится, господин, видя стать твою, красоту твою и храбрость!» Был же юноша, как никто другой, статен, волосы у него кудрявые, глаза большие. Любо на него посмотреть: лицо у него, как снег, и румяно, как маков цвет, брови же у него черные, а в плечах — косая сажень. Видя же прекрасного юношу, радовался отец и говорил ему: «Чадо мое милое, славный Девгений, нестерпим зной полуденный. Всякий зверь прячется в чаще. Пойдем же, чадо, к студеному ручью, омоешь лицо свое потное и оденешь на себя другие одежды, а окровавленные с себя снимешь, ибо от звериного пота, и медвежьих потрохов, и крови лютого зверя обагрилось платье твое. А я сам омою руки твои и ноги».

А в ручье том сияние было и светилась вода, как свеча. И не смел никто из храбрецов подойти к той воде, ибо было там много чудесного: в той воде жил огромный змей.

Придя к ручью, сели все вокруг Девгения и начали омыwać лицо его и руки. Он же сказал: «Моете руки мои, а им еще суждено быть грязными». И не успел юноша договорить, как к ручью прилетел огромный змей, точно человек трехглавый, и хотел пожрать людей. Увидев его, Девгений быстро схватил свой меч, и вышел навстречу змею, и отсек три головы его, и стал мыть руки. И все спутники удивились той удаче, что проявил юноша в борьбе с лютым зверем, и вознесли хвалу богу: «О чудо великое! О владыка-вседержитель, создавший человека и даровавший ему силу великую над всеми сильными и безмерно храбрыми, показал человека, что сильнее их».

И начали юношу наперебой целовать, и сняли с него одежды. Нижние же одежды одеты были для тепла, а верхние были багряные и расшитые сухим золотом, а наплечники украшены драгоценным жемчугом, а наколенники его из дорогих паволок, а сапоги его золотые и украшены дорогим жемчугом и камнем магнитом. Шпоры его были из витого золота и украшены изумрудами.

И велел юноша тотчас скакать к городу, чтобы не тревожилась о нем мать. И вернулись все по домам своим, и стали веселиться, и пребывали в радости великой. И больше всех радовалась мать Девгения, что родила сына такого славного, звонкоголосого и красивого.

А конь у Девгения был бел, словно голубь, а в гриву вплетены были драгоценные камни, и среди камней — золотые колокольчики. И от множества колокольчиков и камней драгоценных раздавались всем на удивление чудесные звуки. Круп коня от летней пыли покрыт дорогим шелком, а уздечка окована золотом с камнем изумрудом и иными самоцветами. Конь же его быстроногий и гарцует под ним славно, а юноша сидит на нем ловко и смело. И, видя то, удивлялись все, как скачет под ним конь, а он крепко сидит на нем, и разным оружием играет, и скачет без страха.

Богу нашему слава ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

## О СВАДЬБЕ ДЕВГЕНИЯ И О ПОХИЩЕНИИ СТРАТИГОВНЫ

Преславный Девгений, получив благословение у отца своего и у матери своей, собрал небольшое войско, и, взяв с собой дорогие одежды и звонкие гусли, сел на своего быстрого коня и поехал к Стратигу.

И достиг рубежа владений Стратига. И, не доехав до города его пяти поприщ, остановил он войско свое и велел вокруг расставить стражу крепкую, а сам поехал в город Стратига. И приехал в город, въехал в ворота городские, и повстречал юношу — слугу Стратига, и стал расспрашивать его о Стратиге, и о сыновьях его, и о дочери, Стратиговне.

Отвечал ему юноша: «Нет господина нашего царя Стратига дома, охотится он в дальней стране с четырьмя сыновьями своими. А о Стратиговне спрашиваешь, — так нет, господин, подобной красавицы во всем свете. Многие приезжали, но никто не видел ее, потому что Стратиг храбр и могуч, и сыновья его, и все его воины: один против сотни выходит, а сама Стратиговна отважна, как мужчина, и никто, кроме тебя, не может с ней сравниться».

Услышав это, обрадовался Девгений, потому что было ему предсказано и записано: если женится на Стратиговне, то проживет тридцать шесть лет. И поехал Девгений по городу Стратига, и приехал ко двору Стратига, и стал смотреть на двор его.

Увидев его, Стратиговна прильнула к окну, но сама не показалась, Девгений же вновь возвратился, заглядывая во двор. Смотрела на него девица и дивилась.

Но время шло к ночи, и вернулся Девгений в свои шатры, взяв с собою полюбившеюся ему юношу, и велел снять с него простые одежды, и одеть его во все дорогое, и пировал всю ночь со своими любимыми слугами. А наутро, встав рано, велел своей дружине выставить дозоры и сказал: «Разойдитесь по разным дорогам, но друг друга из вида не теряйте. Если нападет на вас Стратиг и начнет досаждать вам со всех сторон, а я еще не готов буду к бою, то бейтесь с ним в полсилы, пока я не подспею».

И, сказав так, оделся в дорогие одежды, и велел захватить с собою златострунные гусли, и велел взять юношу, нового слугу своего, поехал сам-четверт ко двору Стратигу и, взяв гусли, стал играть и петь, ибо дана ему была божья помощь, которая всегда была с ним. Всегда все удается ему, а прекрасной девице Стратиговне суждено быть похищенной Девгением, сыном Амира-царя.

И, услышав голос его и звуки прекрасные, испугалась девица, затрепетала и, прильнув к оконцу, увидела, как Девгений сам-четверт проезжает мимо двора. И вселилась в сердце ее

любовь. И, позвав кормилицу, сказала она ей: «Как это юноша мимо двора проехал, а разум мой смутил! И прошу тебя от всего сердца: иди и удержи его своей беседой». И когда снова проезжал юноша мимо двора, увидела его кормилица и обратилась к нему: «Откуда столько дерзости в тебе и что нужно тебе в доме этом? Мимо двора нашего птица пролететь не смеет: из-за моей госпожи многие головы свои сложили». И спросил Девгений: «Кто послал тебя говорить со мною?» Отвечала она ему: «Послала меня моя госпожа, прекрасная Стратиговна, жалея юность твою, как бы ни причинили тебе зла». Он же сказал ей: «Молви госпоже своей: вот что сказал Девгений — выгляни скорее в окно, покажи лицо свое прекрасное и тогда узнаешь, зачем... Если же этого не сделаешь, то не быть живой ни тебе, ни всему твоему роду». Услышав это, прильнула девица Стратиговна к оконцу и начала говорить Девгению: «Свет светлый, солнце прекрасное! Жаль мне тебя, господин, что хочешь погубить себя из-за любви ко мне, ибо многие за меня свои головы сложили, даже не видя меня и словом со мной не перемолвись. А ты кто таков, решившийся на такую неслыханную дерзость? Ведь отец мой безмерно храбр и братья мои могучи, а воины у отца моего — каждый из них может с сотней сражаться. А у тебя с собой мало воинов». Отвечал Девгений девице: «Если бы я бога не боялся, то предал бы тебя смерти. Но ответь мне скорее, что в мыслях у тебя: хочешь стать женой Девгения Акрита или хочешь быть его полонянской—рабыней?»

Услышав это, отвечала ему девушка со слезами: «Если любишь меня так сильно, то похищай немедленно, пока нет дома ни отца - моего, ни могучих моих братьев. Да и зачем тебе меня похищать? — я и сама с тобой поеду, только дай мне мужскую одежду, ибо удали я молодецкой. Если нагонят меня по пути, то не дам я себя в обиду. Многие меня не смогли бы одолеть».

Услышав эти слова, обрадовался Девгений и сказал девице: «Не лежит у меня сердце к тому, что ты предлагаешь, ибо покрою я себя позором перед отцом твоим и братьями твоими. Станут говорить: Девгений, точно вор, похитил у нас девицу. Но вот что скажу тебе: сделай так, как я повелю. Когда вернется отец твой и братья твои, расскажи им, что тебя похищают». И позвал ее: «Выйди за ворота».

И поклонилась она Девгению, и, подхватив одной рукой, посадил Девгений ее на холку своего коня и начал ее нежно целовать, а потом снял с коня своего. Девица же не хотела отходить от него, но Девгений сказал: «Возвращайся и сделай так, как я тебе повелел; как вернется отец твой, так жди и меня к себе, и будь готова: стань у дома перед сенями».

И, сказав так, поцеловал ее и ускакал. И отпустил в город юношу, которого встретил перед воротами, и приказал ему сообщить, когда вернется Стратиг. И, сказав это, направился к шатру своему, и стал пировать весело со своей дружиной.

Тут возвратился Стратиг с охоты, а юноша поспешил с вестями к Девгению и сказал ему: «Стратиг приехал». И велел Девгений оседлать своего борзого коня, а сам оделся в одежды дорогие и поехал на коне-иноходце, а борзого коня повелел вести перед собою. И, въехав в город, сел на коня своего, а любимых слуг своих оставил у городских стен, сам же взял копьё и поехал ко двору Стратига.

Девица же сказала все отцу своему, как повелел ей Девгений. И ответил Стратиг: «Об этом помышляли многие богатыри, да не вышло». И только сказал те слова Стратиг, как подоспел славный Девгений. И, услышав топот коня и звон золотых колокольчиков, быстро выскочила девица и стала перед сенями, как Девгений ей повелел.

А Девгений ударил в ворота копьём, и рассыпались ворота, и въехал во двор, и начал звать громогласно, чтобы вышли к нему Стратиг и могучие его сыновья и увидели бы похищение сестры своей. Слуги стали Стратига звать и поведали ему, какую дерзость выказал Девгений: на дворе стоит без страха и Стратига к себе вызывает.

И услышал Стратиг голос Девгения, но не поверил, говоря: «Сюда, в мой двор, птица не смеет влететь, не то что человек войти». И вышел из дома своего. А Девгений три часа стоял, ожидая его, и не дождался ответа, а слуги и сказать ничего не посмели.

И приказал Девгений девице подойти к нему, и, как орел, подхватил прекрасную Стратиговну, посадил ее на холку своего борзого коня и крикнул Стратигу: «Выйди, отними дочь свою прекрасную у Девгения, чтобы не говорил, будто я, словно вор, украл ее». И с этими словами поехал со двора, распевая звонкую песню и славя бога. И окончил песню, и выехал за город к любимым слугам своим, и, посадив девицу на коня-иноходца, поехал к шатрам своим.

И, взойдя на гору, тотчас обернулся посмотреть: нет ли за ним погони? И сказал девице: «Покрою я себя великим позором, если не будет за мной погони; хочу вернуться и им самим бесчестье нанести». И отрядил Девгений своих верных слуг, и повелел воинам стражу нести вокруг девицы, а сам вернулся в город ко двору Стратига. И въехал на двор Стратигов, и ударил копьём в сени дома его, и рассыпались сени, и ужас охватил всех, кто был во дворе. И кликнул Девгений громогласно, вызывая к себе Стратига, и сказал: «О Стратиг преславный, где же отвага твоя и сыновей твоих, если я похитил твою дочь, но не помчались за мной в погоню ни ты сам, ни сыновья твои? И опять я вернулся, и великое бесчестье тебе нанес, чтобы не стал ты потом говорить, что я, словно вор, пришел и дочь твою похитил. Если же есть мужская отвага в тебе и в воинах твоих, то отними же у меня дочь свою!» И, сказав так, выехал со двора, и опять возвратился, и снова воскликнул громогласно: «Я выеду из города и буду ждать вас в поле, чтобы не сказали потом, что пришел, обманул и бежал от вас».

Услышав эти слова, Стратиг затрясся в гневе и начал звать сыновей своих: «Где же воины мои отборные, из которых каждый тысячу полонит, а иные и по две тысячи, и по пяти, и по десяти тысяч! Так немедля же соберите их и других могучих воинов!»

А Девгений, приехав к девице и сойдя с коня своего, сказал ей: «Сядь и поищи у меня в голове, пока не придут отец твой и братья твои со своим войском. Если же я усну, то не буди меня, пугая, а буди осторожно». И села девица, и стала искать у него в голове, и уснул Девгений, а девица сон его стерегла.

Стратиг же собрал множество воинов своих и богатырей своих, и воевод, и отправился отнимать дочь свою у Девгения. И выехал из города с бесчисленными своими воинами, и увидела их девица, и пришла в ужас, и стала осторожно будить Девгения, со слезами говоря ему: «Вставай! Солнце засияло, и месяц засветил. То Стратиг уже пришел на тебя с бесчисленным войском своим, а ты еще своих воинов не собрал! Зачем же вселяешь в него надежду?»

Отвечал Девгений, вставая: «Не прошу я помощи от людей, но надеюсь на силу божию». И вскочил, и сел на своего борзого коня, и опоясался мечом, и палицу свою взял, и стал спрашивать у девицы: «Хочешь ли ты, чтобы остались живы отец твой и братья, или я их тотчас смерти предаю?» И начала девица его умолять: «Господин, получивший силу от бога, не предай отца моего смерти, не соверши греха, не покрой себя позором в

глазах людей, пусть никто не скажет тебе, что ты тестя убил». И начал расспрашивать Девгений:

«Скажи мне, каковы отец твой и брагья?» И стала ему девица объяснять: «На отце моем золотые доспехи и шлем золотой, драгоценными камнями и жемчугом осыпан, а конь его под зеленой паволокой; а братья мои в серебряных доспехах, только шлемы у них золотые, а кони под наволоками красными».

Выслушав все это, поцеловал ее Девгений, и выехал против них, и встретил их далеко в поле, и как сильный сокол ударил в середину войска, и как хороший косец траву косит: раз проскакал — убил семь тысяч, назад возвратился — убил двадцать тысяч, третий раз поскакал — Стратига нагнал, ударил его слегка дубинкой по верху шлема и сбросил с коня. И начал Стратиг молить Девгения: «Будь ты счастлив с похищенною девицею, прекрасной моей дочерью! Оставь мне жизнь!» И отпустил его Девгений, а сыновей его, догнав, связал и повел с собой; а Стратига не связывал. А воинов, связав, как пастух стадо овечье, погнал перед собою туда, где стояла девица. И увидела девица отца, и сказала: «Вот говорила же я тебе, отец, а ты мне не поверил». И велел Девгений своим слугам подгонять связанных воинов Стратига, а самого Стратига и сыновей его с собой вести.

И тогда опечалился Стратиг и стал вместе с сыновьями своими умолять Девгения, говоря ему так: «Ты же смерти нас не предал и жизнь нам даровал, так не вози же нас с собою, возврати нам свободу!» И услышала девица мольбы отца своего и братьев, и сама начала просить Девгения: «Я богом отдана в руки твои. И ты властелин не только надо мной, но и над близкими моими. Уже многих воинов ты победил, но отцу моему и братьям моим возврати свободу, не причини горя матери моей, вскормившей тебе жену». И как молвила это девица, послушал ее Девгений и сказал Стратигу: «Я старость твою пощажу и дам свободу тебе и сыновьям твоим, только наложу на вас клеймо свое». И взмолился Стратиг: «Какую же свободу нам даруешь, если хочешь клеймом нас запятнать?» Девица же и от клейма отмолила их у Девгения. Был на Стратиге золотой крест прадеда его, бесценный, а у сыновей его пряжки бесценные с жемчугом и драгоценными камнями — все это взял у них Девгений за клеймо...

И стал Девгений приглашать их на свадьбу. И отвечал Стратиг: «Не пристало нам, пленникам, ехать к тебе на свадьбу. Но прошу тебя я и дети мои, не покрывай меня и детей позором: единственную дочь у матери, словно пленницу, хочешь увезти. Но возвратись в дом мой, и устроим пир веселый, и сыграем свадьбу преславную, и, дары получив, с великой честью возвратишься». И услышал Девгений мольбы Стратига, и возвратился в дом Стратига со своей невестой, и три месяца свадьбу играли и в великой радости пребывали. И получил Девгений дары бесчисленные и все, что было приданого у невесты, и кормилицу ее, и слуг ее, и в великой чести поехал восвояси.

Когда же вернулся в свою землю, то послал верных слуг своих с великой пышностью к своему отцу и матери с вестью и велел им, чтобы готовили преславную свадьбу. И сказал так отцу своему: «Ты, отец, прежде прославился силой своею и славою, а теперь я — с божьей помощью и твоим благословением и молитвами матери моей — что задумал, то и сбылось. И нет мне противника. Один Стратиг был сильнее всех богатырей, но, с божьей помощью, и он против меня не устоял, ибо похитил я у него дочь. А теперь, отец, выезжай с великими почестями навстречу мне и Стратиговне». И пришли посланцы его, и поведали отцу все, что велел им сказать Девгений.

И, услышав их, обрадовались отец и мать, и начали готовиться к свадьбе, и созвали весь город, и вышли, чтобы встретить Девгения и Стратиговну, и встретили их за восемь поприщ от города с великими почестями.

И пали все ниц перед Девгением, восклицая: «О великое чудо, совершенное тобой, молодым юношей, о смелость твоя благодатная! Стратига победил и дочь его похитил!» Отвечал им Девгений: «Не я победил силу Стратигову, но божьей силой он побежден». И тотчас созвал Амир шуринов своих, и к Стратигу послал, приглашая его на свадьбу, и так ему говорил: «Не ленись, сват, потрудись приехать, повидаемся мы и порадуемся вместе, и дети наши порадуются, ибо соединил их бог без нашего повеления».

Слышав это, обрадовался Стратиг, и в тот же час собрал всю свою семью, и богатства свои взял, чтобы было чем одарить зятя милого; взял с собой жену и детей своих и поехал к свату своему Амиру. Царь Амир, узнав о приближении Стратига, выехал с Девгением, чтобы встретить его с великими почестями, и, собравшись все в одном месте, начали друг друга одаривать, и три месяца праздновали славную свадьбу. И подарил Стратиг своему зятю тридцать коней, а покрыты они дорогими паволоками, а седла и уздечки золотом окованы; и подарил ему двадцать конюхов, и пардусов, и тридцать соколов с сокольничими, и двадцать кожухов, сухим золотом шитых, и сто больших наволоков, и шатер огромный, весь шитый золотом, а вмещались в тот шатер многие тысячи воинов, а тяжести у шатра тоже шелковые, а кольца серебряные; и подарил ему икону святого Федора, в золотом окладе, да четыре копья арабских, да меч прадеда своего. А теща подарила ему тридцать дорогих зеленых паволоков, двадцать кожухов, сухим золотом шитых, с драгоценными камнями и жемчугом, и много других даров. Первый шурина подарил ему восемьдесят поясов, окованных золотом, и другие шурины принесли ему множество даров, которым и числа нет.

Три месяца веселились на свадьбе и воздали великие почести и Стратигу, и жене его, и сыновьям, и царю Амиру. А Девгений поехал проводить Стратига, и, глядя на него, радовался Стратиг, а сыновья его богу хвалу возносили, что послал им бог такого зятя.

И возвратился Девгений домой, проводив Стратига, и всех пленников освободил. А самому Филиппу, дяде своему, возложил клеймо на лице и отпустил его восвояси, а Максиму свободу объявил через слуг своих. А сам начал жить-поживать и охотиться, ибо любил он богатырские забавы.

О великое чудо, братья! Кто этому не дивится? Не обычный он человек и не от Амира стал таковым, а ниспослан от бога. Все храбрые христиане узнали о славе его, и на весь мир прославился он с помощью господ нашего Иисуса Христа, ему и слава с отцом, и святым духом, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

## **СКАЗАНИЕ О ТОМ, КАК ПОБЕДИЛ ДЕВГЕНИЙ ЦАРЯ ВАСИЛИЯ**

Был некий царь, по имени Василий. И пришел он в безмерную ярость, услышав о дерзости и храбрости Девгения, и загорелся желанием пленить его, ибо сторожил царь Василий всю страну Каппадокийскую.

И тотчас снарядил он послов своих, и отправил Девгению грамоту, а в ней с притворным радушием написал так: «Славный Девгений! Очень хочу повидать тебя. Не поленись же теперь посетить мое царство, ведь удаль и храбрость твоя прогремели по всей

земле. И я полюбил тебя всей душой, хочу посмотреть на юность твою». Принесли царскую грамоту Девгению, прочел ее Девгений и понял, что лживо послание к нему.

И ответил Девгений царю: «Я простой человек. Нет твоему царскому величеству никакой нужды во мне, но если хочешь повидать меня, то, взяв с собой немного воинов, приходи на реку Евфрат». А послам велел сказать царю их: «Если ты хочешь меня, недостойного, видеть, то возьми с собою воинов немного, чтобы не разгневать меня, ибо долго ли в юные годы до безрассудных поступков. А если разгневаюсь я, то и войско твое разобью, и сам живым не вернешься!»

И, приехав, передал посол царю все сказанное Девгением, и, услышав это, пришел в ярость царь, и тотчас же вернул посла к Девгению со словами: «Чадо! Не хочу я брать с собой много воинов, только хочу я, царь, на юность твою полюбоваться. Ничего другого нет у меня на сердце».

Пришел царский посол и передал Девгению сказанное царем, и ответил ему Девгений: «Скажи царю своему так: не боюсь я ни тебя, царь, ни твоих бесчисленных войск, ибо надеюсь на бога. Не боюсь я твоего злого умысла, но говорю тебе: приходи на реку, называемую Евфрат, и там увидишься со мной. Если же придешь с большим войском, то не обрадуешься тому, что царствуешь, а войско твое все разбито будет». И посол, придя к царю Василию, передал ему слова Девгения.

Услышав это, царь тотчас же повелел созвать своих воинов и, собрав их, двинулся с войском на место, указанное Девгением. И, приехав к реке Евфрат, расставил шатры вдалеке от реки. А царский шатер был огромен, цветом красный, а верх у него был расшит сухим золотом; а внутри шатра размещалось несколько тысяч воинов. И все войско царя было скрыто: одни по шатрам, другие в местах укромных. И стоял царь на реке шесть дней, и сказал воеводам своим: «Узнал что-то Девгений и задумал что-то против нас, либо сам хочет прийти с большим войском». И, сказав это, затрепетал от страха царь Василий.

А Девгений прислал слугу своего к царю со словами: «Дивлюсь я, что так потрудишься ты, царь, ради меня, ничтожного. Но сказал уже о своем обычае: если хочешь увидеть меня, то приходи с небольшим войском. А ты вот собрал огромное войско, задумав меня победить, но позорно это, так как слава моя разнеслась по всей земле и по всем странам. А сейчас уже делай так, как задумал».

Отвечал на это царь Василий: «Как же дерзок ты, если не хочешь мне, царю, покориться!» И, отрядив посла своего, отправил его за реку, а Девгениева посла принял. И пришел царский посол передать Девгению царские слова. И ответил Девгений: «Скажи царю своему: если ты надеешься на свою силу великую, то я уповаю на бога-создателя. И не может сравниться сила твоя с могуществом божьим. День уже на исходе, а завтра с утра изготвься к бою, и выступай со своими силами несметными, и увидишь, какова удаль ничтожного мужа, который явится перед тобой, а иначе мне стыдно будет за неисполненное». И пришел посол царя Василия от Девгения, и передал его слова царю.

Царь же спешно созвал бояр своих и стал с ними думу думать. И отвечали ему вельможи: «Чего же стоит власть твоя, царь, если ты одного воина испугался, ведь не видно с ним войск». А Девгениев посол поспешил из-за реки и рассказал Девгению обо всем, что происходило у царя.

И на другой день с рассветом построил царь Василий войска и собрался переправляться через реку, чтобы изловить Девгения, словно зайца в силки. Увидел Девгений, что

изготовил царь Василий бесчисленные войска, и догадался, что хочет он, перейдя реку, его окружить. И, охваченный яростью, сказал Девгений слугам своим: «Подоспеете ко мне немного погодя, а прежде я сам потружусь и услужу царю».

И, сказав эти слова, подперся копьем, и перескочил через реку, словно сильный сокол, и крикнул громогласно: «Где тут царь Василий, что хотел видеться со мною?» Только крикнул он, как бросились на него воины, он же, вонзив копье в землю, с обнаженным мечом бросился на воинов. И поскакал, и как хороший косарь траву косит: в первый раз проскакал — тысячу победил, возвратился назад, еще раз проскакал — еще тысячу победил.

Царь Василий, видя отвагу Девгения, с горсткой воинов обратился в бегство. Девгений же оставшихся воинов перебил, а иных связал и крикнул за реку слугам своим: «Приведите ко мне коня моего борзого по кличке Ветер». Они же пригнали к нему коня, и, вскочив на него, помчался Девгений, и скоро нагнал царя Василия у стен его города, и всех воинов, что были с ним, перебил, а царя и трех спутников его в плен взял.

И послал одного из них в город с вестью. И сказал горожанам: «Выходите навстречу Девгению, с этого дня даровал ему бог царствовать в стране вашей». Они же, услышав это, собрались и вышли сразиться с ним перед городом, думая, что бьются с простым человеком. А он послал к ним сказать: «Сложите ваше оружие и не гневите меня». Они же отвечали: «Не можешь же ты один против целого города стать». Услышав их ответ, разгневался Девгений и бросился на них: одних перебил, других связал и передал слугам своим, и в город вошел, и стал там царствовать. А пленных вскоре освободил, как говорится в Писании: «Не может быть раб больше господина своего, а сын больше отца своего».

«А еще мне осталось жить двенадцать лет и хочу теперь отдохнуть, много уже повидал войн и побед за юность свою», — так сказал Девгений отцу своему и посадил его на царском престоле, а пленных своих призвал и даровал им свободу. А Канаму и Иоакиму клеймо на лицо поставил и отпустил их на родину. И призвал к себе всех родичей своих, и пребывали все в радости великой, и продолжалось так много дней.

Богу нашему слава ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

## О походе князя Игоря (из Ипатьевской летописи)<sup>33</sup>

### О произведении:

Александр Лаврухин. О СТРАННОСТЯХ МЫШЛЕНИЯ ИСТОРИКОВ<sup>34</sup>

Об отношении к источникам информации (по материалам древнерусских летописей) на примере датировки похода князя Игоря.

Современная астрономия подтверждает, что в 1185 году солнечное затмение (которое связывают с началом похода князя Игоря) действительно было, и астрономы определили, что было оно 1 мая (см. Д.О.Святский. Астрономия Древней Руси. М., 2007, стр. 611).

А что по поводу точной даты (дня) затмения 1185 года и начала похода утверждают летописи?

Ипатьевская называет совершенно конкретную дату начала похода – 23 апреля (и, как вариант, 13 апреля, по Хлебниковскому списку), т.е., согласно Ипатьевской летописи, князь Игорь начал свой поход ДО даты солнечного затмения (т.е. до 1 мая).

Согласно же всем остальным материалам, князь Игорь начал свой поход ПОСЛЕ солнечного затмения. Так, в Лаврентьевской летописи можно прочесть, что 1 мая было солнечное затмение, что затем 18 мая у Великого князя Всеволода Большое Гнездо родился первенец, сын Константин, а после этого (подчёркиваю, после записи о событии 18 мая) идёт информация о том, что «того же лета» князь Игорь со своим братом Всеволодом решился идти в поход на половцев.

Так как Истина – одна, то, понятно, возникает законный вопрос: где же именно, в каком из источников содержится ложная информация относительно названия времени начала похода князя Игоря в увязке с удостоверенной астрономами датой солнечного затмения (т.е. с 1 мая 1185 года)? И здесь может быть только два варианта.

Вариант первый. Сообщения Ипатьевской летописи верны, и начало похода князя Игоря было до солнечного затмения, а именно 23 апреля; и тогда данные о начале похода и в Лаврентьевской, и во всех остальных летописях – ложные.

---

<sup>33</sup> Публикуемый фрагмент из южнорусского летописного свода конца XII века повествует о событиях, предшествовавших походу на половцев князя Игоря Святославича в 1185 году, и о самом походе. Летописный рассказ отличается особой обстоятельностью и чертами несомненной литературной обработки. Исследователи обратили внимание на сходство летописной повести о походе Игоря со «Словом о полку Игореве» — на сюжетные и текстуальные параллели.

Текст публикуется по Ипатьевскому списку Ипатьевской летописи, по рукописи БАН № 16.4.4, первой четверти XV века. Слова, исправленные по другим спискам этой летописи (а в двух случаях по смыслу: в летописи написано «половци» вместо «полци»), выделены курсивом.

<sup>34</sup> [http://timofey.ru/kultura/pohod\\_igorya\\_letopisi.html](http://timofey.ru/kultura/pohod_igorya_letopisi.html)

\* \* \*

*Обращает на себя внимание то, что этот и только этот вариант принимается в современной исторической науке к рассмотрению и только он удостоверяется историками как истинный.*

*Более того, примечательно, что вопрос о конфликте информации из разных источниках о начале похода историками вообще не рассматривается и не обсуждается. В научных трудах по истории Древней Руси можно видеть рассказ о походе князя Игоря с основной опорой почему-то только на Ипатьевскую летопись. А качественно иную информацию огромного числа летописей каким-то макаром постигла участь быть лишь материалом, достраивающим изложение Ипатьевской. К примеру, фраза Лаврентьевской летописи «того же лѣта», которая идёт ПОСЛЕ датированного 18-ым мая сообщения о рождении сына у Всеволода Большое Гнездо, почему-то игнорируется в своей хронологической последовательности и совершенно удивительным образом принимается равнозначной информации Ипатьевской с названием точной даты начала похода 23 апреля.*

*Т.е. у них получается, что «того же лѣта» (Лаврентьевская) = 23 апреля (Ипатьевская)!*

\* \* \*

*Вариант второй. Сообщения Лаврентьевской и др. летописей принимаются за достоверные. Тогда фраза Лаврентьевской летописи «того же лѣта» будет означать то, что начало похода князя Игоря было только после 18 мая, даты рождения у Вел. кн. Всеволода сына Константина. И, как следствие этого, информация Ипатьевской летописи о начале похода князя Игоря 23 апреля носит чисто литературный (т.е. вымышленный) характер. И тогда, к примеру, всякие рассуждения современных историков по поводу определения конкретного места, где солнечное затмение могло застигнуть войско князя Игоря ВО ВРЕМЯ ПОХОДА, будут расцениваться просто как фантазийные упражнения.*

В год 6691 (1183). Месяца февраля в двадцать третий день, в первую неделю поста, измаилтяне, безбожные половцы, пришли войной на Русь, к Дмитрову, с окаянным Кончаком и с Глебом Тириевичем, но по божьему заступничеству не принесли они беды. Князь же Святослав Всеволодич посоветовался со сватом своим Рюриком, и пошли они против половцев и остановились у Олжич, поджидая Ярослава из Чернигова. Встретил их Ярослав и сказал им: «Сейчас, братья, не ходите, но, сговорившись о времени, если бог даст, пойдем на них летом». Святослав же и Рюрик, послушавшись его, возвратились. Святослав послал сыновей своих с полками своими степью к Игорю, велел ему ехать вместо себя, Рюрик же послал со своими полками Владимира Глебовича. А Владимир Глебович послал к Игорю, испрашивая у него разрешения выйти вперед со своим полком, ибо князья русские поручали ему передовые полки в Русской земле. Но Игорь не разрешил

ему этого. Разгневался Владимир и возвратился. И идя оттуда, напал на города северские и захватил в них большую добычу. Игорь же повернул назад киевские полки и поставил над ними Олега и племянника своего Святослава, чтобы довели они войско без потерь, а сам поехал, взял с собой брата своего Всеволода и Всеволода Святославича, и Андрея с Романом, и некоторое число воинов из черных клобуков с Кулдюрем и с Кунтувдеем, и пришли они к реке Хоролу. И было в ту ночь тепло, шел сильный дождь, и поднялась вода, и не удалось им найти брода, а половцы, которые успели переправиться со своими шатрами — те спаслись, а какие не успели — тех взяли в плен; говорили, что во время этого похода и бегства их от русских немало шатров, и коней, и скота утонуло в реке Хороле. <...>.

В том же году побудил бог Святослава, князя Киевского, и великого князя Рюрика Ростиславича пойти войной на половцев. И послали они к соседним князьям, и собрались к ним Мстислав и Глеб Святославичи, и Владимир Глебович из Переяславля, Всеволод Ярославич из Лучьска с братом Мстиславом, Мстислав Романович, Изяслав Давидович и Мстислав Городенский, Ярослав, князь пинский, с братом Глебом, и из Галича пришла помощь от Ярослава, а свои братья не пришли, говоря: «Далеко нам идти к низовьям Днепра, не можем свою землю оставить без защиты, но если пойдешь через Переяславль, то встретимся с тобой на Суле». Святослав же, рассердившись на братьев своих, поспешно отправился в путь, побуждаемый божественным промыслом; потому-то старшие сыновья его и не успели из Черниговщины. Двинулся он вдоль Днепра и достиг того места, которое называется Инжир-бродом, и тут перешел на вражеский берег Днепра и пять дней искал половцев. Тогда отправил младших князей перед своими полками: послал Владимира Переяславского, и Глеба, и Мстислава, сына своего, и Мстислава Романовича, и Глеба Юрьевича, князя дубровицкого, и Мстислава Владимировича, и берендеев было с ним две тысячи сто. А половцы, увидев отряд Владимира, смело идущий им навстречу, побежали, гонимые гневом божьим и святой богородицы. Русские, погнавшись за ними, не догнали, возвратились и остановились на месте, называемом Орель, которое на Руси зовется Угол.

Половецкий же князь Кобяк, решив, что это и есть все русское войско, возвратился и стал преследовать его. Когда половцы, преследуя, увидели полки русские, то начали перестреливаться через реку и старались обойти друг друга, и так продолжалось немалое время. Узнав об этом, Святослав и Рюрик отправили им на помощь основные силы, а сами спешно двинулись следом. Когда же половцы увидели полки, пришедшие на помощь, то решили, что с ними и Святослав и Рюрик, и тотчас же повернули назад. Русские же, укрепившись божьей помощью, прорвали их строй и начали их сечь и пленить. И так проявил господь милость свою христианам, в тот день возвеличил бог Святослава и Рюрика за благочестие их.

И взяли в плен тогда Кобяка Карлыевича с двумя сыновьями, Билюковича Изая, и Товлыя с сыном, и брата его Бокмиша, Осалука, Барака, Тарха, Данила и Содвака Кулобичского также пленили, и Корязя Калотановича тут убили и Тарсука, а прочих — без счета. Даровал бог победу эту месяца июля в тридцатый день, в понедельник, в день памяти святого Ивана Воиника. А великий князь Святослав Всеволодич и Рюрик Ростиславич, получив от бога победу над погаными, возвратились по домам со славой и с честью великой.

В это же время Игорь Святославич, услышав, что Святослав отправился на половцев, призвал к себе брата своего Всеволода, и племянника Святослава, и сына своего Владимира и обратился к братии своей и ко всей дружине: «Половцы выступили против русских князей, и мы без них попытаемся напасть на их вежи». И когда переправились за

Мерлу, встретились с половцами — ехал Обовлы Костукович с четырехстами воинами воевать на Русь, и тут помчались им навстречу на конях. Половцы же, по повелению божьему, обратились в бегство, и русские погнались за ними, и победили их тут, и возвратились восвояси.

В это же время Владимир Ярославич Галицкий, шурина Игорев, находился у Игоря, так как был изгнан отцом своим из Галича. Тот Владимир прежде всего отправился во Владимир к Роману, но Роман, боясь его отца, не разрешил ему поселиться у себя. Оттуда направился к Ингварю в Дорогобуж, и тот, из страха перед отцом его, не принял Владимира. И он оттуда поехал в Туров, к Святополку, и тот также не пустил его, к Давыду в Смоленск — и Давыд его не пустил, в Суздаль к Всеволоду, дяде своему. Но и там Владимир Галицкий не обрел покоя и пришел в Путивль, к зятю своему Игорю Святославичу. Тот же встретил его радушно и с честью великою и два года держал у себя, а на третий год примирил его с отцом и послал с ним сына своего, зятя Рюрика, Святослава. <...>

В год 6692 (1184). Двинулся окаянный и безбожный и трижды проклятый Кончак с бесчисленными полками половецкими на Русь, надеясь захватить и пожечь огнем города русские, ибо нашел он некоего мужа басурманина, который стрелял живым огнем. Были у них и луки-самострелы, едва пятьдесят человек могли натянуть у них тетиву. Но всемилостивый господь бог противится гордецам и козни их разрушает. Кончак же, придя, стал на Хороле и послал с хитростью к Ярославу Всеволодовичу, предлагая ему мир. Ярослав же, не подозревая обмана, направил к половцам мужа своего Ольстина Олексича. А Святослав Всеволодович послал к Ярославу, говоря ему: «Брат мой, не верь им и своего мужа не посылай, я на них войной иду». Святослав Всеволодович и Рюрик Ростиславич со всеми полками своими без промедления двинулись на половцев. Рюрик и Святослав отрядили Владимира Глебовича в передовой полк и Мстислава Романовича с ним, а сами Рюрик и Святослав двинулись следом за ними. Когда они были в пути, встретились им купцы, шедшие навстречу из Половецкой земли, и сказали, что половцы стоят на Хороле. Святослав и Рюрик, услышав об этом, обрадовались и направились туда. А Владимир и Мстислав, узнав об этом, пришли на место, указанное купцами. Но когда пришли туда, где стояли половцы, то не увидели никого, ибо те перешли на другое место на берегу Хорола. Передовой же полк, переправившись через Хорол, поднялся на холм, чтобы отсюда заметить врага. А Кончак стоял в долине. И ехавшие по холмам миновали его, а другие полки половецкие — увидели и напали на них. Кончак же за их спиной бежал на ту сторону дороги, и лишь наложницу его захватили и того басурманина, у которого был живой огонь. И привели его к Святославу со всем устройством, а прочих воинов их, кого перебили, а кого взяли в плен, с конями и со множеством всякого оружия.

В год 6693 (1185). Даровал господь избавление — дал победу русским князьям, Святославу Всеволодовичу и великому князю Рюрику Ростиславичу, месяца марта в первый день. Узнав о бегстве Копчака, послали за ним следом Кунтугдыя с шестью тысячами воинов. Но тот, преследуя, не смог его догнать, ибо помешала распутица за Хоролом. Святослав же и великий князь Рюрик одержали победу по молитвам святых мучеников Бориса и Глеба и пошли каждый восвояси, славя бога в троице — отца и сына и святого духа.

А князь Ярослав Черниговский не пошел с братом своим Святославом, говоря так: «Я послал к половцам мужа своего Ольстина Олексича и не могу пойти войной на своего мужа»; этим и оправдался перед братом своим Святославом. Игорь же отвечал Святославу мужу: «Не дай бог отказаться от похода на поганых: поганые всем нам общий враг!» Потом стал совещаться Игорь с дружиной: каким путем поехать, чтобы

соединиться с полками Святослава. Отвечала ему дружина: «Князь наш, не сможешь ты перелететь как птица: вот приехал к тебе муж от Святослава в четверг, а сам он идет из Киева в воскресенье, то как же ты сможешь, князь, догнать его?» Игорю не по душе пришлось эти слова дружины, хотел он ехать по степи напрямик, по берегу Сулы. Но была распутица, так что войско за целый день не смогло бы преодолеть и поля от края и до края, поэтому Игорь и не мог выступить со Святославом.

А на ту же весну князь Святослав послал Романа Нездиловича с берендеями на поганых половцев. С божьей помощью захватили вежи половецкие, много пленных и коней, двадцать первого апреля, на самый Великий день. В ту пору князь Святослав отправился по своим делам в землю вятичей, к Корачеву.

А в это время Игорь Святославич, внук Олегов, выступил из Новгорода месяца апреля в двадцать третий день, во вторник, позвав с собой брата Всеволода из Трубчевска, и Святослава Ольговича, племянника своего, из Рыльска, и Владимира, сына своего, из Путивля. И у Ярослава попросил на помощь Ольстина Олексича, Прохорова внука, с ковуями черниговскими. И так двинулись они медленно, на раскормленных конях, собирая войско свое. Когда подходили они к реке Донцу в вечерний час, Игорь, взглянув на небо, увидел, что солнце стоит словно месяц. И сказал боярам своим и дружине своей: «Видите ли? Что значит знамение это?» Они же все посмотрели, и увидели, и понурили головы, и сказали мужи: «Князь наш! Не сулит нам добра это знамение!» Игорь же отвечал: «Братья и дружина! Тайны божественной никто не ведает, а знамение творит бог, как и весь мир свой. А что нам дарует бог — на благо или на горе нам, — это мы увидим».

И, сказав так, переправился через Донец, и пришел к Осколу, и ждал там два дня брата своего Всеволода: тот шел другой дорогой из Курска. И оттуда пришли к Сальнице. Здесь приехали к ним разведчики, которых посылали ловить языка, и сказали, приехав: «Видели врагов, враги ваши во всем вооружении ездят, так что либо поезжайте без промедления, либо возвратимся домой: не удачное сейчас для нас время». Игорь же обратился к братии своей: «Если нам придется без битвы вернуться, то позор нам будет хуже смерти; так

будет же так, как нам бог даст». И, так порешив, ехали всю ночь.

Наутро же, в пятницу, в обеденное время, встретились с полками половецкими; успели подготовиться половцы: вежи свои отправили назад, а сами, собравшись от мала до велика, стали на противоположном берегу реки Сюурлий. А наши построились в шесть полков: Игорев полк посередине, а по правую руку — полк брата его Всеволода, по левую — Святослава, племянника его, перед этими полками — полк сына его Владимира и другой полк, Ярославов, — ковуи с Ольстином, а третий полк впереди — стрелки, собранные от всех князей. И так построили полки свои. И обратился Игорь к братии своей: «Братья! Этого мы искали, так дерзнем же!» И двинулись на половцев, возложив на бога надежды свои. И когда приблизились к реке Сюурлию, то выехали из половецких полков стрелки и, пустив по стреле на русских, ускакали. Еще не успели русские переправиться через реку Сюурлий, как обратились в бегство и те половецкие полки, которые стояли поодаль за рекой.

Святослав же Ольгович, и Владимир Игоревич, и Ольстин с ковуями-стрелками бросились их преследовать, а Игорь и Всеволод двигались медленно, держа строй своих полков. Передовые полки русских избивали половцев и хватали пленных. Половцы пробежали через вежи свои, а русские, достигнув веж, захватили там большой полон. Некоторые с захваченными пленниками лишь ночью вернулись к своим полкам. И когда собрались все полки, обратился Игорь к братии своей и к мужам своим: «Вот бог силой

своей обреч врагов наших на поражение, а нам даровал честь и славу. Но видим мы бесчисленные полки половецкие — чуть ли не все половцы тут собрались. Так поедем же сейчас, ночью, а кто утром пустится преследовать нас, то разве все смогут: лишь лучшие из половецких конников переправятся, а нам самим — уж как бог даст». Но сказал Святослав Ольгович дядьям своим: «Далеко гнался я за половцами, и кони мои изнемогли; если мне сейчас ехать, то отстану по дороге». Согласился с ним Всеволод и предложил заночевать здесь. И сказал Игорь: «Не удивительно, братья, все обдумав, нам и смерть будет принять». И заночевали на том месте.

Когда же занялся рассвет субботнего дня, то начали подходить полки половецкие, словно лес. И не знали князья русские, кому из них против кого ехать — так много было половцев. И сказал Игорь: «Вот думаю, что собрали мы на себя всю землю Половецкую — Кончака, и Козу Бурновича, и Токсобича, Колобича, и Етебича, и Тертробича». И тогда, посоветовавшись, все сошли с коней, решив, сражаясь, дойти до реки Донца, ибо говорили: «Если поскачем — спасемся сами, а простых людей оставим, а это будет нам перед богом грех: предав их, уйдем. Но либо умрем, либо все вместе живы останемся». И сказав так, сошли с коней и двинулись с боем. Тогда по божьей воле ранили Игоря в руку, и омертвела его левая рука. И опечалились все в полку его: был у них воевода, и ранили его прежде других. И так ожесточенно сражались весь день до вечера, и многие были ранены и убиты в русских полках.

Когда же настала ночь субботняя, все еще шли они сражаясь. На рассвете же в воскресенье вышли из повиновения ковуи и обратились в бегство. Игорь же в это время был на коне, так как был ранен, и поспешил к ним, пытаясь возвратить их к остальным полкам. Но заметив, что слишком отдалился он от своих, сняв шлем, поскакал назад к своему полку, ибо уже узнали бежавшие князя и должны были вернуться. Но так никто и не возвратился, только Михалко Юрьевич, узнав князя, вернулся. А с ковуями не бежал никто из бояр, только небольшое число простых воинов да кое-кто из дружинников боярских, а все бояре сражались в пешем строю, и среди них Всеволод, показавший немало мужества. Когда уже приблизился Игорь к своим полкам, половцы, помчавшись ему наперерез, захватили его на расстоянии одного перестрела от воинов его. И уже схваченный, Игорь видел брата своего Всеволода, ожесточенно бьющегося, и молил он у бога смерти, чтобы не увидеть гибели брата своего. Всеволод же так яростно бился, что и оружия ему не хватало. И сражались, обходя вокруг озеро.

И так в день святого воскресения низвел на нас господь гнев свой, вместо радости обреч нас на плач и вместо веселья — на горе на реке Каялы. Воскликнул тогда, говорят, Игорь: «Вспомнил я о грехах своих перед господом богом моим, что немало убийств и кровопролития совершил на земле христианской: как не пощадил я христиан, а предал разграблению город Глебов у Переяславля. Тогда немало бед испытали безвинные христиане: разлучаемы были отцы с детьми своими, брат с братом, друг с другом своим, жены с мужьями своими, дочери с матерями своими, подруга с подругой своей. И все были в смятении: тогда были полон и скорбь, живые мертвым завидовали, а мертвые радовались, что они, как святые мученики, в огне очистились от скверны этой жизни. Старцев пинали, юные страдали от жестоких и немилостивых побоев, мужей убивали и рассекали, женщин оскверняли. И все это сделал я, — воскликнул Игорь, — и недостойн я остаться жить! И вот теперь вижу отмщение от господа бога моего: где ныне возлюбленный мой брат? где ныне брата моего сын? где чадо, мною рожденное? где бояре, советники мои? где мужи-воители? где строй полков? Где кони и оружие драгоценное? Не всего ли этого лишен я теперь! И связанного предал меня бог в руки беззаконникам. Это все воздал мне господь за беззакония мои и за жестокость мою, и обрушились содеянные мною грехи на мою же голову. Неподкупен господь, и всегда справедлив суд его. И я не

должен разделить участи живых. Но ныне вижу, что другие принимают венец мученичества, так почему же я —

один виноватый — не претерпел страданий за все это? Но, владыка господи боже мой, не отвергни меня навсегда, но какова будет воля твоя, господи, такова и милость нам, рабам твоим».

И тогда окончилась битва, и разлучены были пленники, и пошли половцы каждый к своим вежам. Игоря же взял в плен муж именем Чилбук из Тарголовцев, а Всеволода, брата его, захватил Роман Кзич, а Святослава Ольговича — Елдечук из Вобурцевичей, а Владимира — Копти из Улашевичей. Тогда же на поле битвы Кончак поручился за свата своего Игоря, ибо тот был ранен. И из стольких людей мало кто смог по счастливой случайности спастись, невозможно было скрыться беглецам — словно крепкими стенами окружены были полками половецкими. Но наших русских мужей пятнадцать убежало, а ковуев и того меньше, а остальные в море утонули.

В это время великий князь Святослав Всеволодович отправился в Карачев и собирал в Верхних землях воинов, намереваясь на все лето идти на половцев к Дону. Когда уже на обратном пути оказался Святослав у Новгорода-Северского, то услышал о братьях своих, что пошли они втайне от него на половцев, и был он этим очень раздосадован. Святослав в то время плыл в ладьях; когда же прибыл он в Чернигов, прибежал туда Беловод Просович и поведал Святославу о случившемся в Половецкой земле. Святослав, узнав об этом, вздохнул тяжело и сказал, утирая слезы: «О дорогая моя братия, и сыновья, и мужи земли Русской! Даровал мне бог победу над погаными, а вы, не удержав пыла молодости, отворили ворота на Русскую землю. Воля господня да будет во всем! И как я только что досадовал на Игоря, так теперь оплакиваю его, брата своего».

После этого послал Святослав сына своего Олега и Владимира в Посемье. Узнав о случившемся, пришли в смятение города посемские, и охватила их скорбь и печаль великая, какой никогда не бывало во всем Посемье, и в Новгороде-Северском, и во всей земле Черниговской: князья в плену, и дружина пленена или перебита. И метались люди в смятении, в городах брожение началось, и не милы были тогда никому и свои близкие, но многие забывали и о душе своей, печалась о своих князьях. Затем послал Святослав к Давыду в Смоленск, со словами: «Сговаривались мы пойти на половцев и лето провести на берегах Дона, а теперь половцы победили Игоря, и брата его, и сына; так приезжай же, брат, охранять землю Русскую». Давыд же приплыл по Днепру, пришли и другие на помощь, и расположились у Треполя, а Ярослав с полками своими стоял в Чернигове.

Поганые же половцы, победив Игоря с братией, немало возгордились и собрали всех людей своих, чтобы пойти на Русскую землю. И начался у них спор; говорил Кончак: «Пойдем к Киеву, где была перебита братия наша и великий князь наш Боняк»; а Гза говорил: «Пойдем на Сейм, где остались их жены и дети: там для нас готовый полон собран, будем города забирать, никого не опасаясь». И так разделились надвое: Кончак пошел к Переяславлю, и окружил город, и бился там весь день. Владимир же Глебович, князь Переяславля, был храбр и силен в бою, выехал он из города и напал на врагов. И лишь немногие из дружины решились ехать за ним. Жестоко бился он и окружен был множеством половцев. Тогда остальные переяславцы, видя, как мужественно бьется их князь, выскочили из города и выручили князя своего, раненного тремя копьями. А славный воин этот, Владимир, тяжело раненный, въехал в город свой, утер мужественный пот за отчину свою. И послал Владимир к Святославу, и к Рюрику, и к Давыду, с просьбой: «Половцы у меня, так помогите же мне». Святослав послал к Давыду, а Давыд стоял у Треполя со смоленцами. Смоленцы же начали совещаться и сказали так: «Мы пришли к

Киеву, если бы была там сеча — сражались бы, но зачем нам другой битвы искать, не можем — устали уже». А Святослав с Рюриком и с другими, пришедшими на помощь, пошли по Днепру против половцев, Давыд же возвратился назад со своими смоленцами. Половцы, услышав об этом, отступили от Переяславля. И, проходя мимо Римова, осадили его. Римовичи затворились в городе и заполнили все заборолы, и, по воле божьей, рухнули две городницы с людьми на сторону осаждавших. На остальных же горожан напал страх, кто из них выбежал из города и бился в болотах подле Римова, те и спаслись от плена, а кто остался в городе — тех всех пленили. Владимир же посылал к Святославу Всеволодичу и к Рюрику Ростиславичу, призывая их к себе на помощь. Но Святослав задержался, ожидая Давыда со смоленцами. И так опоздали князья русские и не догнали половцев. Половцы же, взяв город Римов, с полоном отправились восвояси, а князья вернулись по своим домам, печалась о сыне своем Владимире Глебовиче, получившем тяжелые смертельные раны, и о христианах, взятых в полон погаными.

Вот так бог казнит нас за грехи наши, привел на нас поганых не для того, чтобы порадовать их, а нас наказывая и призывая к покаянию, чтобы мы отрешились от своих дурных деяний. И наказывает нас набегами поганых, чтобы мы, смирившись, опомнились и сошли с пагубного своего пути.

А иные половцы двинулись по другой стороне Сулы к Путивлю. Гза с большим войском разорил окрестности его и села пожег. Сожгли половцы и острог у Путивля и вернулись восвояси.

Игорь же Святославич в то время находился у половцев, и говорил он постоянно: «Я по делам своим заслужил поражение и по воле твоей, владыка господь мой, а не доблесть поганых сломила силу рабов твоих. Не стою я жалости, ибо за злодеяния свои обрек себя на несчастья, которые я и испытал». Половцы же, словно стыдясь доблести его, не чинили ему никакого зла, но приставили к нему пятнадцать стражей из числа своих соплеменников и пять сыновей людей именитых, и всего их было двадцать, но не ограничивали его свободы: куда хотел, туда ездил и с ястребом охотился, а своих слуг пять или шесть также ездило с ним. Те стражи его слушались и почитали, а если посылал он кого-либо куда-нибудь, то беспрекословно исполняли его желания. И попа привел из Руси к себе с причтом, не зная еще божественного промысла, но рассчитывая, что еще долго там пробудет. Однако избавил его господь по молитвам христиан, ибо многие печалились о нем и проливали слезы.

Когда же был он у половцев, то нашелся там некий муж, родом половчин, по имени Лавр. И пришла тому мысль благая, и сказал он Игорю: «Пойду с тобою в Русь». Игорь же сначала не поверил ему, к тому же лелеял он дерзкую надежду, как это свойственно юности, замышляя бежать в Русь вместе со своими мужами, и говорил: «Я, страшась бесчестия, не бросил тогда дружину свою, и теперь не могу бежать бесславным путем». С Игорем же были сын тысяцкого и конюший его, и те убеждали князя, говоря: «Беги, князь, в землю Русскую, если будет на то божья воля — спасешься». Но все не находилось удобного времени, какого он ждал. Однако, как говорили мы прежде, возвратились половцы из-под Переяславля, и сказали Игорю советчики его: «Не угоден богу твой дерзкий замысел: ты ищешь случая бежать вместе с мужами своими, а что же об этом не подумаешь: вот приедут половцы из похода, и, как слышали мы, собираются они перебить и тебя, князь, и мужей твоих, и всех русских. И не будет тебе ни славы, ни самой жизни». Запал князю Игорю в сердце совет их; испугавшись возвращения половцев, решил он бежать.

Но нельзя ему было бежать ни днем, ни ночью, потому что стерегли его стражи, но показалось ему самым удобным время на заходе солнца. И послал Игорь к Лавру конюшого своего, веля передать: «Переезжай на тот берег Тора с конем поводным», ибо решился он бежать с Лавром в Русь. Половцы же в это время напились кумыса. Когда стало смеркаться, пришел конюший и доложил князю своему Игорю, что ждет его Лавр. Встал Игорь в страхе и в смятении, поклонился образу божьему и кресту честному, говоря: «Господи, в сердцах читающий! О, если бы ты спас меня, владыка, недостойного!» И, взяв с собой крест и икону, поднял стену шатра и вылез из него, а стражи тем временем забавлялись и веселились, думая, что князь спит. Он же, подойдя к реке, перебрался на другой берег, сел на коня, и так поехали они с Лавром через вежи.

Принес ему господь избавление это в пятницу вечером. И шел Игорь пешком до города Донца одиннадцать дней, а оттуда — в свой Новгород, и все обрадовались ему. Из Новгорода отправился он к брату своему Ярославу в Чернигов, прося помочь ему в обороне Посемья. Обрадовался Игорю. Ярослав и обещал помощь. Оттуда направился Игорь в Киев, к великому князю Святославу, и рад был Игорю Святослав, а также и Рюрик, сват его.

## **О восстании Новгородцев в 1418 году**

### **О произведении:**

*Игорь Курукин. 1418. Самоубийство средневековой демократии<sup>35</sup>*

*В 1418 г. в Новгороде разразилось очередное восстание: «От грозы тоя страшныя и от возмущенна того великого востряесея весь град». Некий Степанко схватил на улице боярина Данила Божина с криком: «Пособите ми тако на злодея сего!» Собравшиеся новгородцы стали с увлечением бить боярина: «казнишиа его ранами близ смерти... сринуща... с мосту». Еле спасшийся Божин (его вытащил какой-то «рыбник») через несколько дней сам захватил Степанку и стал его пытать. Разборка боярина с одним из «меньших» людей вновь всколыхнула город. Толпа со знаменем-«стягом» двинулась на Козьмодемьянскую улицу, разграбила дом Божина и «иных дворов много». Степанку тут же освободили; но восставшие напали на усадьбы знати, «много разграбишиа домов боярских» и Никольский монастырь с криками: «зде житнице боярские». Только вооруженные жители «аристократической» Прусской улицы отбились от нападавших.*

*По городу загремел набат, «вста страна на страну ратным подобием». С обеих сторон были убитые. Архиепископ с духовенством двинулись крестным ходом на Волховский мост и посреди моста благословляли обе стороны. Срочно прибыли посадник Федор Тимофеевич «с иными посадники и с тысяцкими»; после совещания делегация от духовенства была послана убедить восставших: «да идут в дома своя».*

*Те потребовали от бояр провести следствие. По-видимому, среди самих восставших к этому времени произошел раскол, и волнения прекратились.*

*Удивить новгородцев волнениями было трудно. Но «восстание Степанки» стало не очередным столкновением городских районов-«концов» во главе со «своими» боярскими группировками. Впервые «сташа чернь с одной стороны, а с другую бояре и учинися пакости людем много мертвых». Боярская верхушка Новгорода учла урок и скоро установила свое господство: восстание 1418 г. стало последним успехом «черни». Но наступившая «стабильность» означала и конец своеобразной новгородской демократии.*

---

<sup>35</sup>[http://www.telenir.net/istorija/vybiraja\\_svoyu\\_istoriyu\\_razvilki\\_na\\_puti\\_rossii\\_ot\\_ryurikovichei\\_do\\_oligarhov/p6.php](http://www.telenir.net/istorija/vybiraja_svoyu_istoriyu_razvilki_na_puti_rossii_ot_ryurikovichei_do_oligarhov/p6.php)

### *«Господин Великий Новгород»*

*Устройство средневекового Новгорода окружено дымкой легенд, созданных в более поздние времена. Московские летописи XV–XVI вв. обличали «изменников»-новгородцев, а просвещенная государыня Екатерина II в своих исторических штудиях доказывала несостоятельность новгородского «буйства» и «безначалия». В XIX в. декабристы, напротив, противопоставляли новгородскую «вольность» московскому «деспотизму»; да и наши современники порой судят о новгородских порядках по фильмам на фольклорно-сказочные сюжеты, где народные массы на вече с громким криком принимают решение о войне или мире, а патриот-ремесленник спихивает с вечевой «трибуны» корыстного и трусливого боярина...*

*К счастью, о средневековом Новгороде нам известно больше, чем о других древнерусских землях. Север не был затронут татарскими набегами, и здесь лучшие сохранились летописи и документы. С 1932 г. в Новгороде постоянно ведутся раскопки, в ходе которых полвека назад было совершено важнейшее открытие — впервые найдены берестяные грамоты, число которых к настоящему времени приближается к тысяче. Эти источники позволяют нам представить иную, по сравнению с большинством южнорусских («низовских», как говорили новгородцы) земель, модель общественного и государственного устройства. При этом надо иметь в виду, что речь идет не просто о городе, но об обширном государстве — «Господине Великом Новгороде», никогда, в отличие от других земель и княжеств, не дробившемся на уделы.*

*Раздоры между местными племенами (словенами, кривичами и чудью) привели, согласно известному летописному рассказу, к «призванию» князя со стороны в 862 г. Таким образом, государственность на Севере возникла на основе договора. Она была изначально ограничена определенными условиями, которые новгородцы считали законами «отцов и дедов»: князь не имел права распоряжаться государственными доходами и расходами. Столкновения новгородцев с князьями, претендовавшими на расширение своих полномочий, привели к тому, что Ярослав Мудрый был вынужден дать им то, что сейчас мы бы назвали «основными законами» — Русскую Правду.*

*Современные исследования подтвердили, что Новгород — это действительно относительно «новый город»: он возник из трех поселков объединившихся славянских и угро-финских племенных союзов в середине X в.; спустя век была построена первая общегородская крепость — Детинец. Возможно, новый центр возник как раз в ответ на усилившуюся власть князя (князья и дружина размещались в IX–X вв. на Рюриковом городище за пределами Новгорода). Скоро княжеская резиденция переместилась на юг, в Киев; но «новый город» на Севере уже окреп и со временем стал главным торговым портом страны. Основанный при истоке Волхова из озера Ильмень город «замкнул» в важнейшей географической точке систему рек ильменского бассейна (Ловать, Мсту, Шелонь), охватывавшую значительную территорию северной части Руси.*

*В большинстве учебников приводится известная дата — 1136 г., когда новгородцы изгнали неугодного им князя и стали приглашать князей по своему выбору. Но это событие — только один из этапов на пути оформления социального и государственного устройства Новгорода, которое в основных чертах сложилось в XIII в.*

*Верховным законодательным органом власти было новгородское вече. Вече — главная загадка новгородской истории: оно десятки и сотни раз упоминается в летописях и актах; но их составители не считали нужным объяснять современникам (им-то это и так было известно), кто и каким образом входил в его состав, каковы были его*

компетенция и порядок работы. Поэтому потомкам все это до сих пор остается не вполне понятным.

Судя по размеру вечевой площади на Ярославовом дворище около Никольского собора (1200–1500 м<sup>2</sup>), собрание было относительно небольшим. Там находились «степень» — трибуна для посадников — и скамьи для прочих участников (на вече не стояли, а сидели, как в настоящем парламенте). Такая площадь могла вместить несколько сот человек, но никак не все многотысячное население города. Поэтому одни историки полагают, что вече состояло из бояр — владельцев усадеб; другие считают возможным более широкий состав представительства через систему кончанских вечевых собраний, участниками которых могли быть все свободные жители концов и улиц. Но новгородские крестьяне-«смерды» никогда не участвовали в вечевом управлении — их делом было платить дани и пошлины администрации, строить крепости на рубежах и трудиться в боярских вотчинах.

Главным представителем исполнительной власти в Новгороде был посадник, выбиравшийся только из числа бояр. Однако долгое время князя также оказывали влияние на политику Новгорода через своих сторонников: в XII в. новгородцы часто меняли князей, но и князя устранили неугодных посадников, используя противоречия между боярскими кланами.

В 1230 г. Михаил Всеволодович Черниговский посадил в Новгороде князем своего сына Ростислава. Против черниговского князя и его ставленника — посадника Внезда Водовика — выступили сын бывшего посадника Степан Твердиславич и боярин Иванко Тимошинич, которых поддерживал владими́ро-суздальский князь, соперник Михаила Черниговского Ярослав Всеволодович. После публичного столкновения (Степан и Иванко «распрелись» с посадником) Иванко был избит людьми посадника и на другой день созвал вече на Водовика. Последний в союзе с бывшим посадником Семеном Борисовичем сумел одержать верх. Прямо на вече был убит боярин Волос Блудкинич, обвиненный в попытке поджога посадничьего дома. Затем убили и бросили в Волхов Иванко Тимошинича, а их сторонник Яким убежал к князю Ярославу Всеволодовичу.

Но уже в декабре 1230 г., после того как Водовик уехал с молодым князем в Торжок, «суздальская» группировка победила: новгородцы убили Семена Борисовича, разграбили двор и села Внезда Водовика и его сторонников и вручили посадничество Степану Твердиславичу. После такого «избрания» Степан Твердиславич пригласил на новгородский стол Ярослава Всеволодовича.

Цивилизованной смене власти пришлось долго учиться — посадников порой изгоняли, а то и убивали. Только в XIII в. республиканский строй утвердился окончательно. Отныне посадник стал избираться на год из числа пяти пожизненных кончанских посадников, а взаимоотношения Новгорода с князьями четко регулировались «типовыми» договорами.

В ведении второго лица — новгородского тысяцкого — находились организация ополчения, сбор налогов, торговый суд (нынешний арбитраж). С середины XII столетия в Новгороде избирали (по жребию из числа нескольких претендентов — игуменов окрестных монастырей) кандидата в архиепископы, который затем направлялся к митрополиту для посвящения в сан. Новгородский архиепископ вершил церковный суд, хранил государственную казну, во время конфликтов мирил враждовавшие стороны и нередко выполнял дипломатические поручения в отношениях с другими княжествами. Он же выступал в качестве своеобразного нотариуса по сделкам с недвижимостью — вотчинами. У каждого из перечисленных должностных лиц был свой аппарат; каждый

из них обладал, в рамках своих полномочий, судебной властью. Их судебные права определялись особой Новгородской судной грамотой.

Республика никогда не жила без князя. В меру воинственный и удачливый князь должен был обеспечить независимость государства от покушений со стороны других Рюриковичей и свободу торговых путей из Новгорода на «низ» — в южнорусские земли. Богатая республика имела уязвимое место: лесистые и болотистые северные почвы были неплодородными, и Новгород постоянно нуждался в подвозе хлеба. В случае политических конфликтов князья-противники тут же перекрывали торговые пути, и тогда цены на новгородском рынке взмывали в 5–10, а иногда и в 30 раз. «Резаху люди живые и ядыху, а инии мертвая мяса и трупие обрезающе ядыху, а друзии конину, псину, кошки, а ини же мох ядыху, сосну, кору липову и лист, кто что замысля; а инии паки злии человеци почаша добрых людий дома зажигати, где чюючи рожь...» — так описывал летописец голодную весну 1231 г. в богатом городе.

Поэтому на новгородском «столе» мог находиться даже князь-ребенок или его представитель-наместник, обозначивший такой союз. В случае необходимости (но далеко не всегда) князь возглавлял объединенное войско новгородцев и своих дружинников. Повседневной же функцией князя в Новгороде был суд, судебные решения скреплялись княжеской печатью. Но судил князь вместе с посадником. Победа

1136 г. на-всегда поставила князей под республиканский контроль.

Стандартная формула новгородского «рядя» с князем выглядела так: «А без посадника ти, княже, суда не судити, ни волости раздавати, ни грамот даяти. А без вины мужа волости не лишати». За работу князь получал судебные пошлины и доход с определенной территории, но не становился ее владельцем.

В XIII в. договоры, определявшие отношения князей с Новгородом, имели уже вполне разработанный формуляр (первый из дошедших до нас относится к 1264 г.). При заключении «рядя» князь целовал крест «на всей воли новгородской», обязывался «держати... Новгород по пошлине» (т. е. по старине).

Гарантией соблюдения договора был запрет князю и его слугам приобретать в новгородских владениях земли. К тому же новгородцы были «вольны во князьях», поэтому у них не было одной «законной» княжеской династии. Приглашенный князь ставился в положение высокооплачиваемого чиновника и мог быть в любое время сменен: в случае конфликта ему «указывали путь» из Новгорода. Небольшая княжеская дружина в 300–500 человек ничего не могла поделать с многочисленным городским ополчением и боярскими отрядами.

Истоки такого порядка уходят в глубокую древность, когда родоплеменная верхушка славянских и угро-финских племен возглавила эту «федерацию». Скорее всего, именно ее потомки превратились в наследственных бояр. В отличие от других земель, где боярином становился княжеский советник или дружинник, новгородским боярином нужно было родиться: лишь представители 40–50 родов носили это звание. Археологические раскопки показали, что каждому роду принадлежало по 8–10 городских усадеб (площадью около 2000 м<sup>2</sup>), на протяжении столетий не менявших своих границ. Такие клановые владения представляли собой мощные комплексы с двухэтажными боярскими хоромами (с балконами, стеклянными окнами и цветными витражами) и хозяйственными постройками, запасами, ремесленными мастерскими, с челядью и прочими зависимыми людьми.

Усадьбы каждого рода группировались в определенном «конце» Новгорода и держали под контролем несколько кварталов с их обитателями. Они составляли городскую опору боярских родов, являвшихся настоящими хозяевами в городе и на подвластных ему территориях. В Неревском конце господствовали Мишиничи и их родичи: Онцифоровичи, Самсоновы, Борецкие; в Славенском — Лошинские, Селезневые, Грузовые, Офонасовы; на Прусской улице — потомки Михалки Степановича. Новгородские бояре не рассредоточивались по своим вотчинам, а сидели в Новгороде — иначе они утратили бы возможность участвовать в борьбе за власть.

В Киеве и прочих землях полюдые осуществляли князь с дружиной; в Новгороде сборщиками дани стали в X–XI вв. местные бояре. Древнейшие известные берестяные грамоты — это записи долгов горожан и крестьян-«смердов», хранившиеся в боярских усадьбах. Так начиналось и укреплялось боярское влияние в Новгороде. С XII в. новгородские бояре превращаются в землевладельцев, а через двести лет 90 % новгородских земель стали боярскими вотчинами. «Есть в Новгороде знатные сеньоры, которых они называют бояре. Власть этих знатнейших горожан неимоверна, а богатства их неисчислимы: некоторые владеют земельными угодьями протяженностью в двести лье», — такими увидел новгородских «граждан» французский рыцарь Жильбер де Ланнуа в начале XV в.

Только в центре, на давно освоенных землях, боярским фамилиям принадлежало около 80 тысяч гектаров. Там находились примерно 20 тысяч крестьянских хозяйств — в среднем по 500 на каждого владельца. Знаменитой боярыне Марфе Борецкой принадлежало около 1200 дворов, т. е. примерно шесть-семь тысяч крестьян. Не менее богатыми стали новгородские монастыри: Хутынский, Юрьев, Аркажский. Самым богатым землевладельцем являлся «дом святой Софии» — архиепископская кафедра. Огромными были боярские владения на окраинах Новгорода, в его северных лесных колониях.

Вотчинное хозяйство (целые «погосты» в сотни квадратных километров с десятками деревень) и промыслы давали боярам возможность концентрировать в своих руках ценные экспортные товары; из боярских владений поступали сотни пудов воска, десятки тысяч бобровых и беличьих шкурок, мед, рыба и «рыбий зуб» (моржовые клыки). До конца XVI в. Новгород был для Руси «окном в Европу» и главным центром торговых связей с западными и северными странами, куда отправлялись воск и меха на кораблях купцов немецкой Ганзы.

Ганза (от средненижненемецкого *Hanse* — союз, товарищество) — федерация северо-европейских городов под руководством Любека, в котором собирались съезды членов этого союза и принимались обязательные для всех решения. В Ганзу входило более 100 городов от Норвегии до Нидерландов (Бремен, Антверпен, Кельн, Гамбург, Брюгге, Берген, Гданьск, Ревель, Рига и другие). Ганзейские купцы со своим флотом в XIV–XV вв. были монополистами в торговле и перевозках на севере Европы: с востока везли зерно, воск и меха; из Швеции вывозили металл. В обратном направлении перевозились сукна, вина, соль, цветные металлы и изделия из них, оружие. Именно через эти города Русь получала необходимые ей западноевропейские товары. Отношения между Новгородом и ганзейским купечеством регулировались договорами, самый ранний из которых датируется концом XII в. Немецкий двор в Новгороде пользовался автономией и управлялся «олдерманом» — старшиной, который избирался общим купеческим собранием. Ганзейцы подлежали компетенции новгородских властей только при возникновении тяжб с новгородцами. Они вносили в новгородскую казну только одну проездную пошлину — на пути в Новгород и одну торговую — за взвешивание товаров.

При покупке мехов «немцы» имели право осматривать их и требовать к ним наддачи дополнительного количества, не засчитывавшегося в счет купленного меха. При покупке воска ганзейцы могли его «колупать» — откалывать куски для проверки качества, причем отколотые куски также не входили в счет веса купленного воска. Новгородцы же при покупке ганзейских товаров — сукна, соли, сельди, меда, вина — не имели права проверять их качество, взвешивать или измерять.

В обмен на драгоценную новгородскую пушину или западноевропейские товары: серебро и золото, бочки дорогого вина, кипы сукна, драгоценности, изысканная утварь, соль, янтарь и полуфабрикаты (цветные металлы). Все это добро поступало на боярские усадьбы, где располагались мастерские ремесленников: бояре предоставляли им не только кровительство, но также сырье и продовольствие; оттуда готовые товары расходились по всей Руси. У былинного купца Садко был вполне реальный исторический прототип, только это был не купец, а как раз боярин — Садко Сытинич, на свои средства построивший церковь Бориса и Глеба в конце XII в. Церкви рядом со своими усадьбами строили и другие бояре: местные священники поддерживали влияние «своего» боярина на соседей по улице и кварталу.

*От демократии — к олигархии*

И все же новгородское боярство не было единым. Отдельные кланы, опиравшиеся на свои центры и «концы», соперничали друг с другом, что в первые столетия существования республики давало возможность «черным людям» заявлять о своих интересах. Вперемежку с боярскими усадьбами на улицах находились дворы землевладельцев-небояр («житых людей»), ремесленников, духовенства, купцов. Все это население составляло уличанские общины: «прусов» (Прусской улицы), «витковцев», «кузмодемьян» и собиралось на уличанские вече; свое вече было у каждого «конца»-района. Археологи обнаружили выгороженные и вымощенные участки для таких собраний на перекрестках улиц; там новгородцы во время заседаний дружно грызли орехи, скорлупа которых так и осталась лежать толстым слоем на мостовой.

На них решались, прежде всего, местные дела (мы бы сказали сейчас — «вопросы коммунального хозяйства») — например, не пора ли заново мостить улицу (в Новгороде меняли деревянные мостовые через каждые 20–25 лет, а в XIV в. появились первые водоотводные системы). Помимо включения в уличанские общины, небоярское население Новгорода для участия в ополчении и уплаты налогов разделялось на десять сотен; во главе этого устройства — тысячи — стоял выборный тысяцкий, представлявший интересы непривилегированных граждан.

Во время нередких восстаний «черные люди» оказывали давление на всю боярскую верхушку. Восстание 1207 г. против посадника Дмитра Мирошкинича и его «администрации», введившей новые тяжелые налоги, закончилось победой «черных людей»: «... и села их распродаша и челядь, а сокровища их изыскаша и поимаша беицисла, а избыток розделиша по зубу по 3 гривне, и от того многи разбогатеша». Но даже массовые выступления в Новгороде не приводили к принципиальным изменениям в политическом строе. Возглавляемые боярами городские «концы» постоянно боролись друг с другом; широко использовалась социальная демагогия: в наших бедах виноваты стоящие у власти «плохие» бояре с другого «конца», давайте их скинем и поставим «своих»!

Со временем бояре все больше прибирали к рукам власть в Новгороде. К середине XIV в. они закрепили за собой должность тысяцкого. Борьба за посадничество заставила бояр «расширить» этот орган, а ограничение срока посадничества должно было ослабить

борьбу за власть среди боярских группировок. В 1354 г. посадник Онцифор Лукич провел реформу, по которой стали избираться шесть посадников — пять от каждого из городских «концов» и один главный — «степенной». Создавалась коллегия посадников, представлявших разные боярские группировки и «концы». Таким образом, в поисках стабильности в Новгороде рождается олигархический режим, когда представители замкнутого круга знати открыто становятся полноправными хозяевами республики.

Онцифор был сыном Луки Варфоломеевича, основавшего на Северной Двине крепость Орлец, и внуком посадника Варфоломея Юрьевича. Варфоломей же был сыном посадника Юрия Мишинича и внуком Миши, героя Невской битвы 1240 г. Родовитый боярин начал свою политическую деятельность с руководства восстанием «черных людей» в 1342 г. и был за это из Новгорода изгнан. Впоследствии он вернулся и в 1346 г. одержал во главе новгородского войска победу над шведами на Жабьем поле. С 1350 по 1354 г. он был новгородским посадником, в 1367 г. умер. Найдено его берестяное письмо, адресованное матери; сын дает ряд поручений: «Челобитие к госпоже матери от Онцифора. Вели Нестору рубль скопить да идти к Юрию укладнику, проси его, чтобы купил коня. Да иди с Амвросием к Степану, взяв жеребий, а, может быть, он и рубль возьмет, купи и другого коня. Да проси у Юрия полтину да купи соли с Амвросием. А если он не добудет мехов и серебра до зимнего пути, пошли за ними с Нестором сюда».

(Арциховский А. В. Письма Онцифора // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран: Сб. статей к 70-летию акад. М. Н. Тихомирова. М., 1963. С. 115.)

Реформа поначалу не смогла прекратить внутривластных конфликтов. Однако такие выступления постепенно становились все более «отрежиссированными», как, например, в 1359 г.

Степенной посадник Андрейн Захарынич представлял Плотницкий конец. Его противники из самого сильного и влиятельного Славенского конца пришли с оружием на вече, устроили драку и силой смогли навязать свою кандидатуру. В уличных столкновениях «концов» погибло несколько бояр, не говоря уже о многих «невиноватых». В итоге боярин-«славлянин» так и не смог захватить власть и заплатил своими «селами», которые были разграблены его противниками. Но и боярин Андрейн не смог вернуть посадничество, и к власти пришел представитель третьего клана.

Все же, несмотря на издержки, новый способ властвования пришелся боярству по вкусу, и развитие политической системы республики пошло в том же направлении. Следующий этап установления боярской олигархии приходится на начало XV в.: в 1410-х гг. число посадников увеличилось до 18. Реакцией на новые порядки и стало «восстание Степанки», когда «черные люди» били уже не только указанных им «чужих» бояр, а всех представителей правившей верхушки.

Но выбор был сделан. К началу 1420-х гг. в Новгороде одновременно существовало уже 24 посадника и шесть тысяцких; к середине XV в. посадников стало 36, т. е. практически каждый боярский клан имел своего представителя в этой властной структуре.

Новгород иногда не вполне корректно сравнивают с вольными западноевропейскими городами-«коммунами». Точнее было бы его сопоставлять с близкой по типу аристократически-купеческой республикой — Венецией. Но Венеция сумела стать одним из самых богатых государств Средневековья и сохранить свою независимость вплоть до конца XVIII в. Новгород же этого сделать не смог — и не только по причине неравенства сил в поединке с Москвой.

*В 1171 г. Венеция была разделена на шесть районов. Исходя из такого территориального деления, был образован Большой совет: нобили каждого из шести сестьеров выбирали двоих представителей, каждый из которых, в свою очередь, назначал еще 40 человек. Большой совет состоял из 2500 членов — отпрысков патрицианских родов, из их числа рекрутировалось большинство должностных лиц республики. Основными институтами коммуны являлись: сенат, возглавляемая дожем коллегия и квантия — главный судебный орган по криминальным делам. Выбираемый тайным голосованием Большого совета дож становился пожизненным правителем республики, но его реальная власть ограничивалась сложной системой комиссий и советов, следивших за действиями дожа и друг за другом. С XIII в. элита замкнулась, перестав принимать в свой круг новые, пусть даже весьма богатые фамилии.*

*Маленькая Венеция долго оставалась одной из сильнейших морских держав Средиземноморья: создала собственный торговый и военный флот, самую совершенную в Европе дипломатическую службу, сеть заморских торговых факторий, развернула собственное уникальное производство (знаменитого венецианского стекла и зеркал). Новгородское же боярство создавало свои богатства за счет экспорта природных богатств и вполне этим удовлетворялось.*

*Такая «сырьевая» эксплуатация обширных лесных колоний приносила колоссальные доходы боярству, но тормозила развитие передовых, по тому времени, отраслей. Новгородские молодцы-«ушкуйники» могли периодически устраивать дальние экспедиции на Север за пушниной да еще совершать лихие пиратские набеги на «низовые» города: «Проидоша из Новагорода Волгою из Великого полтораста ушкучев с разбойники новгородскими, и избиша по Волзе множество татар и бесермен и ормен... Новъгород Нижний пограбиха... И поидоша в Каму, и проидоша до Болгар», где с успехом «полон христианский весь попродаша». Однако новгородская торговля целиком зависела от более предприимчивых и технически оснащенных немецких купцов. Товары в Новгород и из него шли на немецких судах, поэтому новгородское купечество не могло соперничать и даже заключать равноправные договоры с ганзейцами, не говоря уж о морской торговой экспансии. Создание собственного флота было затруднено отсутствием морских гаваней.*

*Раннее участие в управлении облегчило новгородским боярам подчинение свободных «смердов» и горожан, а связи вотчин с городскими хозяйствами-усадебными обеспечили боярству контроль за экономикой и политическое господство. Технический уровень новгородских мастеров был достаточно высоким; однако зависимость купцов и ремесленников (по раскопкам известно уже 150 таких «боярских» мастерских) мешала формированию профессиональных корпораций горожан — цехов, развивавшихся в западноевропейских городах. Эти обстоятельства, помноженные на общие причины слабости русского города, не дали возможности процветавшему и свободному Новгороду стать инновационным центром передовых технологий и форм производства на Руси.*

*Боярство смогло полностью подчинить своей воле как экономику, так и политические институты Новгорода. Но эта победа как раз и подрывала новгородскую самостоятельность. Еще в XIV в. черному люду было что защищать в республиканских порядках: сохранялось некоторое влияние горожан на «своих» бояр, а их зависимость от народной поддержки не позволяла резко усиливать налоговый гнет. Установление же после 1418 г. открытой олигархии объединило враждующие кланы, но фактически ликвидировало вечевой строй, а вместе с ним — и желание «черных людей» защищать*

новгородские порядки. Социальная рознь ослабляла республику — как раз тогда, когда ей пришлось отстаивать независимость.

#### *Конец республики*

В отличие от тверских или нижегородских правителей, новгородцы никогда не участвовали в борьбе за гегемонию на Руси. Новгородская элита, как правило, принимала к себе в князя того, кто становился великим князем владимирским, что гарантировало от конфликта с Ордой. Власть любого, даже самого сильного князя была в новгородских владениях ограничена. Боярство получало огромные выгоды от сбыта мехов и транзитной торговли, и его мало интересовали политические события на «низу», если они не задевали новгородских интересов.

Случались порой и столкновения. В 1170 г. под стенами Новгорода стояли дружины владимирского «самовластца» Андрея Боголюбского, в 1387 г. на него двинулись силы почти всей русской земли во главе с Дмитрием Донским, в 1428 г. в новгородские пределы вторглось войско могущественного великого князя литовского Витовта. Но новгородцы держались стойко: «суздальцы» князя Андрея потерпели страшное поражение, запечатленное на новгородской иконе «Чудо от иконы Знамение». Когда же противник оказывался сильнее — северяне откупались: выплачивали «черный бор» (одноразовую дань) великому князю Московскому или его литовскому конкуренту.

Но к середине XV в. ситуация в Северо-Восточной Руси принципиально изменилась. Исчезли соперничавшие друг с другом и непрерывно воевавшие княжества, всегда дававшие новгородцам возможность выбрать удобного партнера. Великое княжение Владимирское прочно закрепили за собой московские князья. С окончанием междоусобной войны московских князей Новгород остался единственной политической структурой, претендовавшей на проведение независимой политики. Должна была настать и его очередь.

Зимой 1456 г. войска великого князя Василия II (1425–1462) провели короткую победоносную кампанию — разгромили новгородское ополчение под Руссой; посадник Михаил Туча угодил в московский плен. В деревеньке Яжелбицы москвичи заключили договор с Новгородом: посадники пообещали признавать московского князя своим сувереном, выплатили ему немалую контрибуцию в 10 тыс. рублей. Но при этом новгородские представители упорно отстаивали «старину»: неприкосновенность боярских вотчин, особое республиканское устройство и невмешательство в него великого князя. Яжелбицкий мир повторил почти без изменений традиционные нормы «докоичаний» между великим князем и новгородскими боярами: «Новгород держати вам в старине, по пошлине, без обиды; а нам, мужем ноугородцем, княжение ваше держати честно и грозно, без обиды. А пошлин ваших, князей великих, не таити, по целованию. А что волостей ноугородцких всех, вам не держати своими мужи, держати мужи ноугородцкими, и дар имати от тех волостей. А без посадника вам, князи, суда не судити, ни волостей роздавати, ни грамот давати... А без вины вам, князи, мужа волости не лишити, ни грамот не посужати...»

Однако в договоре впервые было записано: «Вечным грамотам не быти», — т. е. Москва впервые потребовала ликвидации высшего новгородского органа власти. Как восприняли это требование новгородские послы, неизвестно; однако сохранилось оно только в московском экземпляре Яжелбицкого договора. И все же мир был восстановлен. Победитель и побежденные, как равные договаривающиеся стороны, «целовали крест» — ратифицировали договор, который не собирались долго соблюдать. Для Москвы он

стал некоторой передышкой в борьбе за подчинение Новгорода; историкам известны грамоты, выданные от имени веча уже после Яжелбиц.

Судьба Новгорода была решена Иваном III (1462–1505). Новгородцы уже лишились пространства для маневра: обращаться за реальной помощью можно было только к сопернику Москвы — королю Польскому и великому князю Литовскому Казимиру. В 1463 г. к нему отправилось новгородское посольство с жалобой о «возмущении еже на Великий на Новгород Ивана Васильевича». Русская земля стояла на пороге новой войны; но она не началась — очевидно, верх в Новгороде взяли сторонники «худого мира». В 1470 г. на новгородском столе оказался Михаил Олелькович — потомок Ольгерда Литовского. Его княжение было недолгим, но именно в это время «литовская партия» среди новгородских бояр решительно выступила против Москвы.

Дети покойного посадника Исака Борецкого и его вдова Марфа призвали новгородцев: «Не хотим за великого князя Московского, ни зватися отчиною его. Волныи есмы люди, Великы Новгород, А московский князь велики много обиды и неправду над нами чинит. Но хотим за короля Польского и великого князя Литовского Казимера».

Вскоре был заключен договор: «честный король» обязался «всести на конь за Велики Новгород», т. е. лично возглавить польско-литовскую рать. Переход под власть короля означал разрыв не только с Москвой, но и с вековой «старинной» признания прав великих владимирских князей.

Князья из Литвы приходили в Новгород не раз: в 1414 г. здесь княжил Иван Владимирович, дядя Михаила Олельковича; в 1435, 1445 и 1459 гг. — другой его родич, Юрий Семенович, сын Семена-Лугвеня, защитника Новгорода от Ливонского ордена. Михаил Олелькович был вассалом и родичем Казимира, но еще и двоюродным братом самого Ивана III. Но теперь приглашение князя «из королевь руки» стало для Москвы удобным предлогом для обвинения новгородцев заодно и в измене, и в склонности к «латинству».

И хотя Михаил уехал из Новгорода весной 1471 г., расплата не замедлила. В мае московские и псковские войска, действуя по согласованному плану, вышли в поход «плenuюще и жгуще, и люди в полон поведуще». Последовали подряд четыре поражения новгородских войск; самое сокрушительное — на реке Шелони, где конница москвичей уложила на поле боя 12 тысяч новгородцев. Военный разгром в 1456 и 1471 гг. был не случайным. На закате Средневековья Новгород не смог создать не только флота, но и современной профессиональной армии — боярской олигархии она была не нужна и даже опасна. Но в борьбе с поместной московской конницей громоздкое городское ополчение оказалось бессильным.

Новгородские послы даже не успели доехать до Казимира, когда все было кончено. Посадник Дмитрий Борецкий, а с ним еще несколько знатных «изменников» были казнены, другой посадник Василий Казимир и 50 «лутчих» новгородцев — отправлены в московские тюрьмы. Зато «мелких людей» великий князь Иван III после побоища «велел отпущати к Новгороду» — он умел быть расчетливо милостивым.

Впервые «Господин Великий Новгород» официально признал себя «отчиной» великого князя, объявившего себя верховной судебной инстанцией в Новгороде.

Спустя несколько лет последовал новый поход великокняжеской рати. Но у богатейшей республики, никогда не знавшей междоусобных войн и татарских набегов, не осталось ни

*сил, ни воли к сопротивлению, хотя за сто лет до того новгородцам удавалось отбиться от самого Дмитрия Донского и разгромить войско его сына Василия Дмитриевича.*

*К моменту последнего столкновения с Москвой в республике проявился раскол: «И разделишася людие — инии хотяху за князя (Ивана III), а инии за короля за Литовского». Рядовые новгородцы уже не рвались защищать боярское правление. Сами же бояре так и не смогли выступить в борьбе с грозным противником единым фронтом: одни стремились «заложиться» за Казимира Литовского, другие надеялись на компромисс с Москвой и сохранение своей власти и привилегий в обмен на признание Ивана III «государем».*

*«Новгородские посадницы (т. е. посадники) и тысяцкие, купцы и житии люди, и мастера всякие, спроста реци плотищи и гончары, и прочий, который родився на лошади не бывали, и на мысли которым того не бывало, что руки поднята противу великого князя, всех тех изменници они силою выгнаша; а которым бы не хотети пойти к бою тому, и они сами тех разграбляху и избиваху, а иных в реку Влѣхов вметаху», — насмеялся над усилиями бояр-«изменников» организовать сопротивление московский летописец. Но и его новгородские собратья также не смогли скрыть отсутствие единства у сограждан:*

*«И всколебашася аки пьяни, и бяше в них непособица и многие брани, мнози бо велможии бояре перевет имеаху князю великому и того ради не изволиша в единомыслии быти, и всташа чернь на бояр, а бояри на чернь».*

*В итоге в студеное января 1478 г. новгородская знать выслушала из уст Ивана III приговор: «Вечю колоколу в отчине нашей в Новгороде не быти. Посаднику не быти. Волостем быти, селом быти, как у нас в Низовской земле». Последним днем республики стало 15 января: московские «дети боярские» и дьяки привели новгородцев к присяге своему государю.*

*Новгородскую «демократию» не стоит идеализировать: большинство населения города находилось в зависимости от боярских кланов, а окрестные крестьяне-смерды в политической жизни никак не участвовали. Но в боярской республике была создана сложная система «разделения властей»; население города участвовало (на уровне улиц, сотен, концов) в деятельности местных органов самоуправления. Археологи обнаружили остатки деревянных «палат» суда вместе с массой берестяных грамот о судебных спорах. Рядовые торговцы и ремесленники были грамотными и умели отстаивать свои права. «От Незнанка к Рюре. Собираешься ли платить 6 гривен? Если не собираешься, то поезжай (на суд) в город», — так корректно приглашал новгородец своего оппонента разрешить имущественный спор в начале XIII в.*

*Это было не худшее «наследство» республиканских порядков. Однако «собрание земель» Москвой «закрыло» новгородский, а затем и псковский «эксперимент» с вечевым «народоправством». После покорения Новгорода Иван III последовательно ликвидировал и саму основу былых «вольностей». В 1480 г. был «пойман» архиепископ Феофил (умер в заточении в кремлевском Чудовом монастыре), а затем в несколько приемов конфискованы десятки тысяч гектаров светских и церковных вотчин. Их владельцы — бояре, «житии люди», купцы — получили взамен земли в разных уголках Руси: «Жаловал их на Москве, давал поместья, и в Володимере, и в Муроме, и в Новгороде Нижнем, и в Переславле, и в Юрьеве, и в Ростове, и на Костроме и по иным городом; а в Новгород в Великий на их поместья послал московских многих лучших гостей и детей боярских и из иных городов».*

*Расправа с верхушкой новгородского боярства явилась демонстративным нарушением Иваном III данного им в 1478 г. новгородцам обещания не вмешиваться в боярские вотчины и не «выводить» бояр из Новгорода. Последние остатки новгородских прав исчезли после опричного погрома зимой 1570 г.*

В год 6926 (1418). Предзнаменование было в церкви святой мученицы Анастасии: шла от иконы Покрова святой богородицы словно кровь по обе стороны с риз ее — месяца апреля в девятнадцатый день.

И в тот же месяц случилось такое в Новгороде наущением дьявольским: человек один — Степанко — схватил боярина Данилу Ивановича, Божина внука, и, держа, кричал людям: «Да, государи мои, помогите же мне таково расправиться со злодеем этим!» Люди же, услышав его крики, протащили боярина, словно злодея, до веча и избили его чуть не до смерти, а потом, сведя с веча, сбросили его с моста.

Один же из Людина конца, Личков сын, желая ему помочь, подобрал его в лодку, и народ, разъярясь на того рыбака, дом его разграбил. А помянутый боярин, желая за бесчестье свое отомстить, схватил своего противника и стал мучить — желая рану исцелить, еще большее бедствие воздвиг; не припомнил сказавшего: «Аз отмщение».

Народ же, прознав, что схвачен Степанко, начал звонить на Ярославле-дворе к вечу, и собиралось людей множество, кричали, препираясь, несколько дней: «Пойдем на того боярина и дом его разграбим!» И пришли, вооружась и со стягом, на Козьмодемьянскую улицу, пограбили дом его и других дворов много, и на Яновской улице берег ограбили.

А после грабежа того, перепугавшись, как бы хуже не стало им, козьмодемьянцы вернули Степанка и, придя к архиепископу, молили его послать кого-нибудь к собранию народному. И святитель внял молениям их и отправил Степанка со священником и со своим боярином; и люди приняли Степанка. И вновь разъярился народ, все словно пьяные, на другого боярина, на Ивана на Иевлича с Чудинцевой улицы, и вместе с домом его много разграбили домов боярских, и монастырь святого Николы на Поле разграбили, говоря:

«Здесь житницы боярские!» И еще в то же утро на Людогощей улице пограбили дворов множество, приговаривая: «Нам враги они!» — и на Прусскую улицу пришли, но там отбились от них.

И с того часа стала вражда множиться: прибежали они на свою Торговую сторону, закричали: «Софийская сторона хочет против нас ополчиться и дома наши пограбить», и стали звонить по всему городу, и начали люди сбегаться с обеих сторон, как на битву, в доспехах, на мост Великий; были и жертвы: те от стрел, а те от мечей, и мертвые были будто в бою. И от ужаса того страшного, и от мятежа того великого всколыхнулся весь город, и напал страх на обе стороны.

Прослышав же о междоусобной схватке среди своей паствы, архиепископ Семеон пролил слезы из очей своих и повелел приближенным собрать собор свой; и, войдя в храм святой Софии, начал архиепископ молиться со слезами, и облачился в священные ризы со всем своим собором, и, повелев взять крест господен и образ пресвятой богородицы,— пошел на мост. И вслед за ним шли священники и причт церковный, и именитые люди за ним пошли, и множество народа, проливая слезы, говоря: «Усмири же, господи, молитвами господина нашего!» И люди богобоязненные припадали к ногам святителя со слезами: «Иди, господине, да усмирит господь твоим благословением междоусобную схватку». Другие же говорили: «Пусть бедствие падет на зачинщиков усобицы!»

И, подойдя, святитель стал посреди моста, и, подняв животворный крест, стал благословлять обе стороны; те же, взирая на честной крест, рыдали. Как узнала та сторона о прибытии святителя, пришел посадник Федор Тимофеевич с другими посадниками и с тысяцкими, поклонились владыке. Владыка внял их мольбам, послал архимандрита Варлаама и отца своего духовного протодиакона на Ярославль-двор, чтобы благословили степенного посадника Василия Есифовича и тысяцкого Кузьму Терентьевича и чтобы разошлись все по домам своим.

И разошлись молитвами святой богородицы и благословением архиепископа Семеона, и настала тишина в городе.

## ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ АФНАСИЯ НИКИТИНА<sup>36</sup>

### **О произведении:**

#### *«ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» АФНАСИЯ НИКИТИНА<sup>37</sup>*

*Жанр «хождений» — как правило, это были описания путешествий в святые места: Палестину, Царьград, на Афон — имел широкое распространение в Древней Руси. Таким образом, сочинение Афанасия Никитина входит в определенную категорию памятников, называемых «хождениями». Однако сочинение Афанасия Никитина объединяет с другимихождениями лишь то, что это описание путешествия. По характеру и литературным признакам оно глубоко оригинально и не похоже ни на какой другой памятник древнерусской литературы. Это живая, непосредственная запись продолжительного и трудного путешествия (1468—1475) в неведомые страны, в центре которой оказалась судьба наблюдательного, духовно богатого человека, русского купца ::з Твери, заброшенного по воле случая в далекую Индию.*

*Афанасий умер в пути, возвращаясь на родину, не дойдя до Смоленска. Никакими сведениями об авторе, кроме заметки, предшествующей тексту «Хождения» в Летописной редакции, и того, что автор сам сообщает о себе, наука пока не располагает. В издаваемом здесь тексте опущены два небольших отрывка, в которых содержится перечисление пройденных Афанасием пунктов и воинских походов индийских военачальников.*

*В круглых скобках в переводе обозначаются те места, которые были написаны по-тюркски и по-персидски.*

В год 6983 (1475) (...). В том же году получил записи Афанасия, купца тверского, был он в Индии четыре года, а пишет, что отправился в путь с Василием Папиным. Я же расспрашивал, когда Василий Папин послан был с кречетами послом от великого князя, и сказали мне — за год до Казанского похода вернулся он из Орды, а погиб под Казанью, стрелой простреленный, когда князь Юрий на Казань ходил. В записях же не нашел, в каком году Афанасий пошел или в каком году вернулся из Индии и умер, а говорят, что умер, до Смоленска не дойдя. А записи он своей рукой писал, и те тетради с его записями привезли купцы в Москву Василию Мамыреву, дьяку великого князя.

---

<sup>36</sup> Подготовка текста М. Д. Каган-Тарковской и Я. С. Лурье, перевод Л. С. Семенова, комментарии Я. С. Лурье и Л. С. Семенова

<sup>37</sup> Источник: Литература Древней Руси: Христоматия / Сост. Дмитриев Л. А. Под редакцией Лихачев Д. С. — М.: Высшая школа, 1990

За молитву святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, раба своего грешного Афанасия Никитина сына.

Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря: первое море — Дербентское, дарья Хвалисская, второе море — Индийское, дарья Гундустанская, третье море — Черное, дарья Стамбульская.

Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и от Бориса Захарьича.

Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.

И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.

Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел на посольское судно.

Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слышали и бежим себе под парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.

Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги, и тут они нас настигли и велели судно тянуть вверх по реке до еза. И судно наше большое тут пограбили и четыре человека русских в плен взяли, а нас отпустили голыми головами за море, а назад, вверх по реке, не пропустили, чтобы вести не подали.

И пошли мы, заплакав, на двух судах в Дербент: в одном судне посол Хасан-бек, да тезики, да нас, русских, десять человек; а в другом судне — шесть москвичей, да шесть тверичей, да коровы, да корм наш. И поднялась на море буря, и судно меньшее разбило о берег. И тут стоит городок Тарки, и вышли люди на берег, да пришли кайтаки и всех взяли в плен.

И пришли мы в Дербент, и Василий благополучно туда пришел, а мы ограблены. И я бил челом Василию Папину и послу ширваншаха Хасан-беку, с которым мы пришли, — чтоб похлопотал о людях, которых кайтаки под Тарками захватили. И Хасан-бек ездил на гору к Булат-беку просить. И Булат-бек послал скорохода к ширваншаху передать: «Господин!

Судно русское разбилось под Тарками, а кайтаки, придя, людей в плен взяли, а товар их разграбили».

И ширваншах послал тотчас посла к шурина своему, князю кайтаков Халил-беку: «Судно мое разбилось под Тарками, и твои люди, придя, людей с него захватили, а товар их разграбили; и ты, меня ради, людей ко мне пришли и товар их собери, потому что те люди посланы ко мне. А что тебе от меня нужно будет, и ты ко мне присылай, и я тебе, брату своему, ни в чем перечить не стану. А те люди ко мне шли, и ты, меня ради, отпусти их ко мне без препятствий». И Халил-бек всех людей отпустил в Дербент тотчас без препятствий, а из Дербента отослал их к ширваншаху в ставку его — койтул.

Поехали мы к ширваншаху в ставку его и били ему челом, чтоб нас пожаловал, чем дойти до Руси. И не дал он нам ничего: дескать, много нас. И разошлись мы, заплакав, кто куда: у кого что осталось на Руси, тот пошел на Русь, а кто был должен, тот пошел куда глаза глядят. А иные остались в Шемахе, иные же пошли в Баку работать.

А я пошел в Дербент, а из Дербента в Баку, где огонь горит неугасимый; а из Баку пошел за море — в Чапакур.

И прожил я в Чапакуре шесть месяцев, да в Сари жил месяц, в Мазандаранской земле. А оттуда пошел к Амолу и жил тут месяц. А оттуда пошел к Демавенду, а из Демавенда — к Рею. Тут убили шаха Хусейна, из детей Али, внуков Мухаммеда, и пало на убийц проклятие Мухаммеда — семьдесят городов разрушилось.

Из Рея пошел я к Кашану и жил тут месяц, а из Катана — к Наину, а из Наина к Йезду и тут жил месяц. А из Йезда пошел к Сирджану, а из Сирджана — к Тарому, домашний скот здесь кормят финиками, по четыре алтына продают батман фиников. А из Тарома пошел к Лару, а из Лара — к Бендеру — то пристань Ормузская. И тут море Индийское, по-персидски дарья Гундустанская; до Ормуза-града отсюда четыре мили идти.

А Ормуз — на острове, и море наступает на него всякий день по два раза. Тут провел я первую Пасху, а пришел в Ормуз за четыре недели до Пасхи. И потому я города не все назвал, что много еще городов больших. Велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет. В Ормузе был я месяц, а из Ормуза после Пасхи в день Радуницы пошел я в таве с конями за море Индийское.

И шли мы морем до Маската десять дней, а от Маската до Дега четыре дня, а от Дега до Гуджарата, а от Гуджарата до Камбея. Тут родится краска да лак. От Камбея поплыли к Чаулу, а из Чаула вышли в седьмую неделю после Пасхи, а морем шли шесть недель в таве до Чаула.

И тут Индийская страна, и люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети рождаются каждый год, а детей у них много. И мужчины, и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много — дивятся белому человеку. У тамошнего князя — фата на голове, а другая на бедрах, а у бояр тамошних — фата через плечо, а другая на бедрах, а княгини ходят — фата через плечо перекинута, другая фата на бедрах. А у слуг княжеских и боярских одна фата на бедрах обернута, да щит, да меч в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с луками и стрелами; да все наги, да босы, да крепки, а волосы не бреют. А женщины ходят — голова не покрыта, а груди голы, а мальчики и девочки нагие ходят до семи лет, срам не прикрыт.

Из Чаула пошли посуху, шли до Пали восемь дней, до Индийских гор. А от Пали шли десять дней до Умри, то город индийский. А от Умри семь дней пути до Джуннара.

Правит тут индийский хан — Асад-хан джуннарский, а служит он мелик-ат-туджару. Войска ему дано от мелик-ат-туджара, говорят, семьдесят тысяч. А у мелик-ат-туджара под началом двести тысяч войска, и воюет он с кафарами двадцать лет: и они его не раз побеждали, и он их много раз побеждал. Ездит же Асад-хан на людях. А слонов у него много, и коней у него много добрых, и воинов, хорасанцев, у него много. А коней привозят из Хорасанской земли, иных из Арабской земли, иных из Туркменской земли, иных из Чаготайской земли, а привозят их все морем в тавах — индийских кораблях.

И я, грешный, привез жеребца в Индийскую землю, и дошел с ним до Джуннара, с Божьей помощью, здоровым, и стал он мне во сто рублей. Зима у них началась с Троицына дня. Зимовал я в Джуннаре, жил тут два месяца. Каждый день и ночь — целых четыре месяца — всюду вода да грязь. В эти дни пашут у них и сеют пшеницу, да рис, да горох, да все съестное. Вино у них делают из больших орехов, кози гундустанские называются, а брагу — из татны. Коней тут кормят горохом, да варят кхичри с сахаром да с маслом, да кормят ими коней, а с утра дают шешни. В Индийской земле кони не водятся, в их земле родятся быки да буйволы — на них ездят и товар и иное возят, все делают.

Джуннар-град стоит на скале каменной, не укреплен ничем, Богом огражден. И пути на ту гору день, ходят по одному человеку: дорога узка, двоим пройти нельзя.

В Индийской земле купцов поселяют на подворьях. Варят гостям хозяйки, и постель стелют хозяйки, и спят с гостями. Если имеешь с ней тесную связь, давай два жителя, если не имеешь тесной связи, даешь один житель. Много тут жен по правилу временного брака, и тогда тесная связь даром; а любят белых людей.

Зимой у них простые люди ходят — фата на бедрах, другая на плечах, а третья на голове; а князья да бояре надевают тогда на себя порты, да сорочку, да кафтан, да фата на плечах, другой фатой себя опояшет, а третьей фатой голову обернет. О Боже, Боже великий, Господь истинный, Бог великодушный, Бог милосердный!

И в том Джуннаре хан отобрал у меня жеребца, когда узнал, что я не бесерменин, а русин. И он сказал: «И жеребца верну, и тысячу золотых впридачу дам, только перейди в веру нашу — в Мухаммеддини. А не перейдешь в веру нашу, в Мухаммеддини, и жеребца возьму, и тысячу золотых с твоей головы возьму». И срок назначил — четыре дня, на Спасов день, на Успенский по.ст. Да Господь Бог сжалился на свой честной праздник, не оставил меня, грешного, милостью своей, не дал погибнуть в Джуннаре среди неверных. Накануне Спасова дня приехал казначей Мухаммед, хорасанец, и я бил ему челом, чтобы он за меня хлопотал. И он ездил в город к Асад-хану и просил обо мне, чтобы меня в их веру не обращали, да и жеребца моего взял у хана обратно. Таково Господне чудо на Спасов день. А так, братья русские христиане, захочет кто идти в Индийскую землю — оставь веру свою на Руси, да, призвав Мухаммеда, иди в Гундустанскую землю.

Солгали мне псы бесермены, говорили, что много нашего товара, а для нашей земли нет ничего: все товар белый для бесерменской земли, перец да краска, то дешево. Те, кто возят волов за море, те пошлин не платят. А нам провезти товар без пошлины не дадут. А пошлин много, и на море разбойников много. Разбойничают кафары, не христиане они и не бесермены: молятся каменным болванам и ни Христа, ни Мухаммеда не знают.

А из Джуннара вышли на Успенье и пошли к Бидару, главному их городу. Шли до Бидара месяц, а от Бидара до Кулонгири — пять дней и от Кулонгири до Гулбарги пять дней. Между этими большими городами много других городов, всякий день проходили по три города, а иной день по четыре города: сколько ковов — столько и городов. От Чаула до Джуннара двадцать ковов, а от Джуннара до Бидара сорок ковов, от Бидара же до Кулонгири девять ковов, и от Бидара до Гулбарги девять ковов.

В Бидаре на торгу продают коней, камку, шелк и всякий иной товар да рабов черных, а другого товара тут нет. Товар все гундустанский, а из съестного только овощи, а для Русской земли товара нет. А здесь люди все черные., все злодеи, а женки все гулящие, да колдуны, да тати, да обман, да яд, господ ядом морят.

В Индийской земле княжат все хорасанцы, и бояре все хорасанцы. А гундустанцы все пешие и ходят перед хорасанцами, которые на конях; а остальные все пешие, ходят быстро, все наги да босы, в руке щит, в другой — меч, а иные с большими прямыми луками да со стрелами. Бой ведут все больше на слонах. Впереди идут пешие воины, за ними — хорасанцы в доспехах на конях, в доспехах и сами и кони. Слонам к голове и бивням привязывают большие кованые мечи, по кентарю весом, да облачают слонов в доспехи булатные, да на слонах сделаны башенки, и в тех башенках по двенадцать человек в доспехах, да все с пушками, да со стрелами.

Есть тут одно место — аланд, где шейх Алаеддин, святой, лежит и ярмарка. Раз в год на ту ярмарку съезжается торговать вся страна Индийская, торгуют тут десять дней; от Бидара двенадцать ковов. Приводят сюда коней — до двадцати тысяч коней — продавать, да всякий товар привозят. В Гундустанской земле эта ярмарка лучшая, всякий товар продают и покупают в дни памяти шейха Алаеддина, а по-нашему на Покров святой Богородицы. А еще есть в том Аланде птица гукук, летает ночью, кричит: «кук-кук»; а на чьем доме сядет, там человек умрет, а захочет кто ее убить, она на того огонь изо рта пускает. Мамоны ходят ночью да хватают кур, а живут они на холмах или среди скал. А обезьяны, те живут в лесу. Есть у них князь обезьяний, ходит с ратью своей. Если кто обезьян обидит, они жалуются своему князю, и он посылает на обидчика свою рать, и они, к городу придя, дома разрушают и людей убивают. А рать обезьянья, сказывают, очень велика, и язык у них свой. Детенышей родится у них много, и если который из них родится ни в мать, ни в отца, таких бросают на дорогах. Иные гундустанцы подбирают их да учат всяким ремеслам; а если продают, то ночью, чтобы они дорогу назад не могли найти, а иных учат людей забавлять.

Весна у них началась с Покрова святой Богородицы. А празднуют память шейха Алаеддина и начало весны через две недели после Покрова; восемь дней длится праздник. А весна у них длится три месяца, и лето три месяца, и зима три месяца, и осень три месяца.

Бидар — стольный город Гундустана бесерменского. Город большой, и людей в нем очень много. Султан молод, двадцати лет — бояре правят, а княжат хорасанцы и воюют все хорасанцы.

Живет здесь боярин-хорасанец, мелик-ат-туджар, так у него двести тысяч своей рати, а у Мелик-хана сто тысяч, а у Фарат-хана двадцать тысяч, и у многих ханов по десять тысяч войска. А с султаном выходит триста тысяч войска его.

Земля многолюдна, да сельские люди очень бедны, а бояре власть большую имеют и очень богаты. Носят бояре на носилках серебряных, впереди коней ведут в золотой сбруе, до

двадцати коней ведут, а за ними триста всадников, да пеших пятьсот воинов, да десять трубачей, да с барабанами десять человек, да дударей десять.

А когда султан выезжает на прогулку с матерью да с женою, то за ним всадников десять тысяч следует да пеших пятьдесят тысяч, а слонов выводят двести, и все в золоченых доспехах, и перед ним — трубачей сто человек, да плясунов сто человек, да ведут триста коней верховых в золотой сбруе, да сто обезьян, да сто наложниц, гаурыки называются.

Во дворец султана ведет семь ворот, а в воротах сидят по сто стражей да по сто писцов-кафаров. Одни записывают, кто во дворец идет, другие — кто выходит. А чужестранцев во дворец не пускают. А дворец султана очень красив, по стенам резьба да золото, последний камень — и тот в резьбе да золотом расписан очень красиво. Да во дворце у султана сосуды разные.

По ночам город Бидар охраняет тысяча стражей под начальством куттавала, на конях и в доспехах, да в руках у каждого по факелу.

Продав я своего жеребца в Бидаре. Издержал на него шестьдесят восемь футунов, кормил его год. В Бидаре по улицам змеи ползают, длиной по две сажени. Вернулся я в Бидар из Кулонгири на Филиппов пост, а жеребца своего продал на Рождество.

И жил я здесь, в Бидаре, до Великого поста и со многими индусами познакомился. Открыл им веру свою, сказал, что не бесерменин я, а веры Иисусовой христианин, и имя мое Афанасий, а бесерменское имя — ходжа Юсуф Хорасани. И индусы не стали от меня ничего скрывать, ни о еде своей, ни о торговле, ни о молитвах, ни о иных вещах, и жен своих не стали в доме скрывать.

Расспрашивал я их о вере, и они говорили мне: веруем в Адама, а буты, говорят, и есть Адам и весь род его. А всех вер в Индии восемьдесят и четыре веры, и все веруют в бута. А разных вер люди друг с другом не пьют, не едят, не женятся. Иные из них баранину, да кур, да рыбу, да яйца едят, но говядины никто не ест.

Пробыл я в Бидаре четыре месяца и сговорился с индусами пойти в Парват, где у них бутхана — то их Иерусалим, то же, что для бесермен Мекка. Шел я с индусами до бутханы месяц. И у той бутханы ярмарка, пять дней длится. Велика бутхана, с пол-Твери, каменная, да вырезаны в камне деяния бута. Двенадцать венцов вырезано вокруг бутханы — как бут чудеса совершал, как являлся в разных образах: первый — в образе человека, второй — человек, но с хоботом слоновым, третий — человек, а лик обезьяний, четвертый — наполовину человек, наполовину лютый зверь, являлся все с хвостом. А вырезан на камне, а хвост с сажень, через него переброшен.

На праздник бута съезжается к той бутхане вся страна Индийская. Да у бутханы бреются старые и молодые, женщины и девочки. А сбывают на себе все волосы, бреют и бороды, и головы. И идут к бутхане. С каждой головы берут по две шешкени для бута, а с коней — по четыре футы. А съезжается к бутхане всего людей двадцать тысяч лакхов, а бывает время и сто тысяч лакхов.

В бутхане же бут вырезан из камня черного, огромный, да хвост его через него перекинут, а руку правую поднял высоко и простер, как Юстиниан, царь цареградский, а в левой руке у бута копьё. На нем не надето ничего, только бедра повязкой обернуты, а лик обезьяний. А иные буты совсем нагие, ничего на них не надето, срам не прикрыт, и жены бутovy нагими вырезаны, со срамом и с детьми. А перед бутом — бык огромный, из черного

камня вырезан и весь позолочен. И целуют его в копыто, и сыплют на него цветы. И на бута сыплют цветы.

Индусы же не едят никакого мяса, ни говядины, ни баранины, ни курятины, ни рыбы, ни свинины, хотя свиней у них очень много. Едят же днем два раза, а ночью не едят, и ни вина, ни сыты не пьют. А с бесерменами не пьют, не едят. А еда у них плохая. И друг с другом не пьют, не едят, даже с женой. А едят они рис, да кхичри с маслом, да травы разные едят, да варят их с маслом да с молоком, а едят все правой рукой, а левою не берут ничего. Ножа и ложки не знают. А в пути, чтобы кашу варить, каждый носит котелок. А от бесермен отворачиваются: не посмотрел бы кто из них в котелок или на кушанье. А если посмотрит бесерменин, — ту еду не едят. Потому едят, накрывшись платком, чтобы никто не видел.

А молятся они на восток, как русские. Обе руки подымут высоко да кладут на темя, да ложатся ниц на землю, весь вытянется на земле — то их поклоны. А есть садятся — руки обмывают, да ноги, да и рот полощут. Бутханы же их без дверей, обращены на восток, и буты стоят лицом на восток. А кто у них умрет, тех сжигают да пепел сыплют в реку. А когда дитя родится, принимает муж, и имя сыну дает отец, а мать — дочери. Добронравия у них нет, и стыда не знают. А когда придет кто или уходит, кланяется по-монашески, обеими руками земли касается, и все молча.

В Парват, к своему буту, ездят на Великий пост. Тут их Иерусалим; что для бесермен Мекка, для русских — Иерусалим, то для индусов Парват. И съезжаются все нагие, только повязка на бедрах, и женщины все нагие, только фата на бедрах, а другие все в фатах, да на шее жемчугу много, да яхонтов, да на руках браслеты и перстни золотые. Ей-Богу! А внутрь, к бутхане, едут на быках, рога у каждого быка окованы медью, да на шее триста колокольцев и копыта медью подкованы. И быков они называют ачче.

Индусы быка называют отцом, а корову — матерью. На помете их пекут хлеб и кушанья варят, той золой знаки на лице, на лбу и по всему телу делают. В воскресенье и в понедельник едят они один раз на дню. В Индии же гулящих женщин много, и потому они дешевые: если имеешь с ней тесную связь, дай два жителя; хочешь свои деньги на ветер пустить — дай шесть жителей. Так в сих, местах заведено. А рабыни-наложницы дешевы: 4 фуны — хороша, 5 фун — хороша и черна; черная-пречерная амьчюкь маленькая, хороша.

Из Парвата приехал я в Бидар за пятнадцать дней до бесерменского улу байрама. А когда Пасха, праздник Воскресения Христова, не знаю; по приметам гадаю — наступает Пасха раньше бесерменского байрама на девять или десять дней. А со мной нет ничего, ни одной книги; книги взял с собой на Руси, да когда меня пограбили, пропали книги, и не соблюсти мне обрядов веры христианской. Праздников христианских — ни Пасхи, ни Рождества Христова — не соблюдаю, по средам и пятницам не пощусь. И, живя среди иноверных, молю я Бога, пусть он сохранит меня: «Господи Боже, Боже истинный, ты Бог, Бог великий, Бог милосердный, Бог милостивый, всемилостивейший и всемилосерднейший ты, Господи Боже. Бог един, то царь славы, творец неба и земли».

А иду я на Русь с думой: погибла вера моя, постился я бесерменским постом. Месяц март прошел, начал я пост с бесерменами в воскресенье, постился месяц, ни мяса не ел, ничего скоромного, никакой еды бесерменской не принимал, а ел хлеб да воду два раза на дню, с женщиной не ложился я. И молился я Христу Вседержителю, кто сотворил небо и землю, а иного Бога именем не призывал. Господи Боже, Бог милостивый, Бог милосердный, Бог

Господь, Бог великий, Бог царь славы, Бог зиждитель, Бог всемилостивейший, — это все ты, о Господи.

От Ормуза морем идти до Калхата десять дней, а от Калхата до Дега шесть дней, и от Дега до Маската шесть дней, а от Маската до Гуджарата десять дней, от Гуджарата до Камбея четыре дня, а от Камбея до Чаула двенадцать дней, и от Чаула до Дабхола шесть дней. Дабхол же в Индостане пристань последняя бесерменская. А от Дабхола до Кожикоды двадцать пять дней пути, а от Кожикоды до Цейлона пятнадцать дней, а от Цейлона до Шабата месяц идти, а от Шабата до Пегу двадцать дней, а от Пегу до Южного Китая месяц идти — морем весь тот путь. А от Южного Китая до Северного идти сухим путем шесть месяцев, а морем четыре дня идти. Да устроит мне Господь крышу над головой.

Ормуз — пристань большая, со всего света люди тут бывают, всякий товар тут есть; что в целом свете родится, то в Ормузе все есть. Пошлина же большая: со всякого товара десятую часть берут.

Камбей — пристань всего Индийского моря. Делают тут на продажу алачи да пестряди, да киндяки, да делают тут краску синюю, да родится тут лак, да сердолик, да соль.

Дабхол — тоже пристань весьма большая, привозят сюда коней из Египта, из Аравии, из Хорасана, из Туркестана, из Бендер-Ормуза; отсюда ходят сухим путем до Бидара и до Гулбарги месяц.

И Кожикоды — пристань всего Индийского моря. Пройти мимо нее не дай Бог никакому судну: кто ее пропустит, тот дальше по морю благополучно не пройдет. А родится там перец, да имбирь, да цветы муската, да орех мускатный, да каланфур — корица, да гвоздика, коренья пряные, да адряк, да всякого коренья родится там много. И все тут дешево. А рабы и рабыни многочисленны, хорошие и черные.

А Цейлон — пристань немалая на Индийском море, и там на горе высокой лежит праотец Адам. А около горы добывают драгоценные камни: рубины, да фатисы, да агаты, да бинчаи, да хрусталь, да сумбаду. Слоны там рождаются, и цену им по росту дают, а гвоздику на вес продают.

А Шабатская пристань на Индийском море весьма большая. Хорасанцам платят там жалованье по тенке на день и большому, и малому. А женится хорасанец, ему князь шабатский дает тысячу тенек на жертву да жалованья каждый месяц по пятьдесят тенек дает. А в Шабате родится шелк, да сандал, да жемчуг, — и все дешево.

А Пегу тоже пристань немалая. Живут там индийские дервиши, а рождаются там драгоценные камни: маник, да яхонт, да кирпук, и продают те камни дервиши.

Китайская же пристань весьма велика. Делают там фарфор и продают его на вес, дешево. А жены их со своими мужьями спят днем, а ночью ходят к приезжим чужестранцам да спят с ними, и дают они чужестранцам деньги на содержание, да приносят с собой кушанья сладкие, да вино сладкое, да кормят и поят купцов, чтобы их любили, а любят купцов, людей белых, потому что люди их страны очень черны. А зачнет жена от купца дитя, то купцу деньги на содержание муж дает. А родится дитя белое, тогда купцу платят триста тенек, а черное дитя родится, тогда купцу ничего не платят, а что пил, да ел, то даром по их обычаю.

Шабат же от Бидара в трех месяцах пути; а от Дабхола до Шабата — два месяца морем идти, а до Южного Китая от Бидара четыре месяца морем идти, делают там фарфор, да все дешево. А до Цейлона идти морем два месяца, а до Кожикоды месяц идти.

В Шабате же родится шелк, да инчи — жемчуг скатный, да сандал; слонам цену по росту дают. На Цейлоне рождаются аммоны, да рубины, да фатисы, да хрусталь, да агаты. В Кожикоды родится перец, да мускатный орех, да гвоздика, да плод фуфал, да цветы муската. В Гуджарате родится краска да лак, а в Камбее — сердолик.

В Райчуре же рождаются алмазы старой копи и новой копи. Алмаз продают по пять рублей почка, а очень хорошего — по десять рублей. Почка алмаза новой копи по пять кени, черного — по четыре—шесть кени, а белого алмаза — одна тенка. Алмазы рождаются в горе каменной, и платят за локоть той горы каменной: новой копи — по две тысячи фунтов золотых, а старой копи — по десять тысяч фунтов. А землей той владеет Мелик-хан, султану служит. А от Бидара тридцать ковов.

А что евреи говорят, что жители Шабата их веры, то неправда: они не евреи, не бесермены, не христиане, иная у них вера, индийская, ни с иудеями, ни с бесерменами не пьют, не едят и мяса никакого не едят. Все в Шабате дешево. Родится там шелк да сахар, и все очень дешево. По лесу у них мамоны ходят да обезьяны, да по дорогам на людей нападают, так что из-за мамонов да обезьян у них ночью по дорогам ездить не смеют.

От Шабата посуху десять месяцев идти, а морем — четыре месяца аукыиков. У оленей домашних режут пупки — в них мускус рождается, а дикие олени пупки роняют по полю и по лесу, но запах они теряют, да и мускус тот несвежий бывает.

Месяца мая в первый день отметил я Пасху в Индостане, в Бидаре бесерменском, а бесермены праздновали байрам в середине месяца; а поститься я начал месяца апреля в первый день. О благоверные христиане русские! Кто по многим землям плавает, тот во многие беды попадает и веру христианскую теряет. Я же, рабище Божий Афанасий, исстрадался по вере христианской. Уже прошло четыре Великих поста и четыре Пасхи прошли, а я, грешный, не знаю, когда Пасха или пост, ни Рождества Христова не соблюдаю, ни других праздников, ни среды, ни пятницы не соблюдаю: книг у меня нет. Когда меня пограбили, книги у меня взяли. И я от многих бед пошел в Индию, потому что на Русь мне идти было не с чем, не осталось у меня никакого товара. Первую Пасху праздновал я в Каине, а другую Пасху в Чапакуре в Мазандаранской земле, третью Пасху — в Ормузе, четвертую Пасху в Индии, среди бесермен, в Бидаре, и тут много печалился по вере христианской.

Бесерменин же Мелик сильно понуждал меня принять веру бесерменскую. Я же ему сказал: «Господин! Ты молитву совершаешь и я также молитву совершаю. Ты молитву пять раз совершаешь, я — три раза. Я — чужестранец, а ты — здешний». Он же мне говорит: «Истинно видно, что ты не бесерменин, но и христианских обычаев не соблюдаешь». И я сильно задумался, и сказал себе: «Горе мне, окаянному, с пути истинного сбился и не знаю уже, по какому пути пойду. Господи, Боже Вседержитель, творец неба и земли! Не отврати лица от рабища твоего, ибо в скорби пребываю. Господи! Призри меня и помилуй меня, ибо я создание твое; не дай, Господи, свернуть мне с пути истинного, наставь меня, Господи, на путь правый, ибо в нужде не был я добродетелен перед тобой, Господи Боже мой, все дни свои во зле прожил. Господь мой, Бог покровитель, ты, Боже, Господи милостивый, Господь милосердный, милостивый и милосердный. Хвала Богу. Уже прошло четыре Пасхи, как я в бесерменской земле, а

христианства я не оставил. Далее Бог ведает, что будет. Господи Боже мой, на тебя уповал, спаси меня, Господи Боже мой».

В Бидаре Великом, в бесерменской Индии, в Великую ночь на Великий день смотрел я, как Плеяды и Орион в зарю вошли, а Большая Медведица головою стояла на восток.

На байрам бесерменский совершил султан торжественный выезд: с ним двадцать везиров великих выехало да триста слонов, наряженных в булатные доспехи, с башенками, да и башенки окованы. В башенках по шесть человек в доспехах с пушками и пищалями, а на больших слонах по двенадцать человек. И на каждом слоне по два знамени больших, а к бивням привязаны большие мечи весом по кентарю, а на шее — огромные железные гири. А между ушей сидит человек в доспехах с большим железным крюком — им слона направляет. Да тысяча коней верховых в золотой сбруе, да сто верблюдов с барабанами, да трубачей триста, да плясунов триста, да триста наложниц. На султана кафтан весь яхонтами унизан, да шапка-шишак с огромным алмазом, да саадак золотой с яхонтами, да три сабли на нем все в золоте, да седло золотое, да сбруя золотая, все в золоте. Перед ним кафир бежит вприпрыжку, теремцом поводит, а за ним пеших много. Позади идет злой слон, весь в камку наряжен, людей отгоняет, большая железная цепь у него в хоботе, отгоняет ею коней и людей, чтоб к султану не подступали близко.

А брат султана сидит на золотых носилках, над ним балдахин бархатный, а маковка — золотая с яхонтами, и несут его двадцать человек.

А махдум сидит на золотых же носилках, а балдахин над ним шелковый с золотой маковкой, и везут его четыре коня в золотой сбруе. Да около него людей великое множество, да перед ним певцы идут и плясунов много; и все с обнаженными мечами да саблями, со щитами, дротиками да копьями, с прямыми луками большими. И кони все в доспехах, с саадаками. А остальные люди нагие все, только повязка на бедрах, срам прикрыт.

В Бидаре луна полная стоит три дня. В Бидаре сладкого овоща нет. В Индостане большой жары нет. Очень жарко в Ормузе и на Бахрейне, где жемчуг родится, да в Джидде, да в Баку, да в Египте, да в Аравии, да в Ларе. А в Хорасанской земле жарко, да не так. Очень жарко в Чаготае. В Ширазе, да в Йезде, да в Кашане жарко, но там ветер бывает. А в Гиляне очень душно и парит сильно, да в Шамахе парит сильно; в Багдаде жарко, да в Хумсе и в Дамаске жарко, а в Халебе не так жарко.

В Сивасской округе и в Грузинской земле всего в изобилии. И Турецкая земля всем обильна. И Молдавская земля обильна, и дешево там все съестное. Да и Подольская земля всем обильна. А Русь Бог да сохранит! Боже, сохрани ее! Господи, храни ее! На этом свете нет страны, подобной ей, хотя эмиры Русской земли несправедливы. Да устроится Русская земля и да будет в ней справедливость! Боже, Боже, Боже, Боже!

Господи, Боже мой! На тебя уповал, спаси меня, Господи! Пути не знаю — куда идти мне из Индостана: на Ормуз пойти — из Ормуза на Хорасан пути нет, и на Чаготай пути нет, ни в Багдад пути нет, ни на Бахрейн пути нет, ни на Йезд пути нет, ни в Аравию пути нет. Повсюду усобица князей повыбивала. Мирзу Джехан-шаха убил Узун Хасан-бек, а султана Абу-Саида отравили, Узун Хасан-бек Шираз подчинил, да та земля его не признала, а Мухаммед Ядигар к нему не едет: опасается. А иного пути нет. На Мекку пойти — значит принять веру бесерменскую. Потому, веры ради, христиане и не ходят в Мекку: там в бесерменскую веру обращают. А в Индостане жить — значит издержаться совсем, потому

что тут у них все дорого: один я человек, а на харч по два с половиной алтына в день идет, хотя ни вина я не пивал, ни сыты.

Мелик-ат-туджар взял два города индийских, что разбойничали на Индийском море. Семь князей захватил да казну их взял: вьюк яхонтов, вьюк алмазов, да рубинов, да дорогих товаров сто вьюков, а иных товаров его рать без числа взяла. Под городом стоял он два года, и рати с ним было двести тысяч, да сто слонов, да триста верблюдов.

В Бидар мелик-ат-туджар вернулся со своею ратью на курбан байрам, а по-нашему — на Петров день. И султан послал десять везиров встретить его за десять ковов, а в кове — десять верст, и с каждым везиром послал по десять тысяч своей рати да по десять слонов в доспехах.

У мелик-ат-туджара садится за трапезу каждый день по пятьсот человек. С ним вместе за трапезу садятся три везира, и с каждым везиром по пятьдесят человек, да еще сто его бояр ближних. На конюшне у мелик-ат-туджара две тысячи коней да тысячу коней оседланными день и ночь держат наготове, да сто слонов на конюшне. И каждую ночь дворец его охраняют сто человек в доспехах, да двадцать трубачей, да десять человек с барабанами, да десять бубнов больших — бьют в каждый по два человека.

Низам-ал-мульк, Мелик-хан да Фатхулла-хан взяли три города больших. А рати с ними было сто тысяч человек да пятьдесят слонов. И захватили они яхонтов без числа, да других драгоценных камней множество. И все те камни, да яхонты, да алмазы скупили от имени мелик-ат-туджара, и он запретил мастерам продавать их купцам, что пришли в Бидар на Успенье.

Султан выезжает на прогулку в четверг и во вторник, и с ним выезжают три везира. Брат султана совершает выезд в понедельник с матерью да с сестрой. И женок две тысячи выезжает на конях да на носилках золоченых, да перед ними ведут сто верховых коней в золотых доспехах. Да пеших множество, да два везира и десять везирыней, да пятьдесят слонов в суконных попонах. А на слонах сидит по четыре человека нагих, только повязка на бедрах. И пешие женки наги, носят они за ними воду — пить и умываться, но один у другого воды не пьет.

Мелик-ат-туджар со своей ратью выступил из города Бидара против индусов в день памяти шейха Алаеддина, а по-нашему — на Покров святой Богородицы, и рати с ним вышло пятьдесят тысяч, да султан послал своей рати пятьдесят тысяч, да пошли с ними три везира и с ними еще тридцать тысяч воинов. И пошли с ними сто слонов в доспехах и с башенками, а на каждом слоне по четыре человека с пищалями. Мелик-ат-туджар пошел завоевывать Виджаянагар — великое княжество индийское.

А у князя виджаянагарского триста слонов да сто тысяч рати, а коней у него — пятьдесят тысяч.

Султан выступил из города Бидара на восьмой месяц после Пасхи. С ним выехало двадцать шесть везиров — двадцать бесерменских везиров и шесть везиров индийских. Выступили с султаном двора его рати сто тысяч конных людей, двести тысяч пеших, триста слонов в доспехах и с башенками да сто лютых зверей на двойных цепях.

А с братом султана вышло двора его сто тысяч конных, да сто тысяч пеших, да сто слонов в доспехах.

А с Мал-ханом вышло двора его двадцать тысяч конных, шестьдесят тысяч пеших, да двадцать слонов в доспехах. А с Бедер-ханом и его братом вышло тридцать тысяч конных, да пеших сто тысяч, да двадцать пять слонов, в доспехах и с башенками. А с Сул-ханом вышло двора его десять тысяч конных, да двадцать тысяч пеших, да десять слонов с башенками. А с Везир-ханом вышло пятнадцать тысяч конных людей, да тридцать тысяч пеших, да пятнадцать слонов в доспехах. А с Кутувал-ханом вышло двора его пятнадцать тысяч конных, да сорок тысяч пеших, да десять слонов. А с каждым везиром вышло по десять тысяч, а с некоторыми и по пятнадцать тысяч конных, а пеших — по двадцать тысяч.

С князем виджаянагарским вышло рати его сорок тысяч конных, а пеших сто тысяч да сорок слонов, в доспехи наряженных, и на них по четыре человека с пищалами.

А с султаном вышло двадцать шесть везиров, и с каждым везиром по десять тысяч конной рати, да пеших по двадцать тысяч, а с иным визиром по пятнадцать тысяч конных людей и по тридцать тысяч пеших. А великих индийских везиров четыре, а с ними вышло конной рати сорок тысяч да сто тысяч пеших. И разгневался султан на индусов, что мало людей с ними вышло, и прибавили еще пеших двадцать тысяч, да две тысячи конных, да двадцать слонов. Такова сила султана индийского, бесерменского. Мухаммедова вера годится. А раст дени худо донот — а правую веру Бог ведает. А правая вера — единого Бога знать и имя его во всяком месте чистом в чистоте призывать.

На пятую Пасху решился я на Русь идти. Вышел из Бидара за месяц до бесерменского улу байрама по вере Мухаммеда, посланника божья. А когда Пасха, Воскресение Христово, — не знаю, постился с бесерменами в их пост, с ними и разговелся, а Пасху отметил в Гулбарге, от Бидара в десяти ковах.

Султан пришел в Гулбаргу с мелик-ат-туджаром и с ратью своей на пятнадцатый день после улу байрама. Война им не удалась — один город взяли индийский, а людей много у них погибло и казны много поистратили.

А индийский великий князь могуществен, и рати у него много. Крепость его на горе, и стольный город его Виджаянагар очень велик. Три рва у города, да река через него течет. По одну сторону города густые джунгли, а с другой стороны долина подходит — удивительное место, для всего пригодное. Та сторона не проходима — путь через город идет; ни с какой стороны город не взять: гора там огромная да чашоба злая, колючая. Стояла рать под городом месяц, и люди гибли от жажды, и очень много людей поумирало от голода да от жажды. Смотрели на воду, да не подойти к ней.

Ходжа мелик-ат-туджар взял другой город индийский, силой взял, день и ночь бился с городом, двадцать дней рать ни пила, ни ела, под городом с пушками стояла. И рати его погибло пять тысяч лучших воинов. А взял город — вырезали двадцать тысяч мужского полу и женского, а двадцать тысяч — и взрослых, и малых — в плен взяли. Продавали пленных по десять тенек за голову, а иных и по пять, а детей — по две тенки. Казны же совсем не взяли. И стольного города он не взял.

Из Гулбарги пошел я в Каллур. В Каллуре родится сердолик, и тут его обрабатывают, и отсюда по всему свету развозят. В Каллуре триста алмазников живут, оружие украшают. Пробыл я тут пять месяцев и пошел оттуда в Коилконду. Там базар очень большой. А оттуда пошел в Гулбаргу, а из Гулбарги к Аланду. А от Аланда пошел в Амендрии, а из Амендрии — к Нарясу, а из Наряса — в Сури, а из Сури пошел к Дабхолу — пристани моря Индийского.

Большой город Дабхол — съезжаются сюда и с Индийского и с Эфиопского поморья. Тут я, окаянный Афанасий, рабище Бога вышнего, творца неба и земли, призадумался о вере христианской, и о Христовом крещении, о постах, святыми отцами устроенных, о заповедях апостольских и устремился мыслию на Русь пойти. Вошел в таву и сговорился о плате корабельной — со своей головы до Ормуза-града два золотых дал. Отплыл я на корабле из Дабхола-града на бесерменский пост, за три месяца до Пасхи.

Плыл я в таве по морю целый месяц, не видя ничего. А на другой месяц увидел горы Эфиопские, и все люди вскричали: «Олло переводигер, олло конькар, бизим баши мудна насинь больмышьти», а по-русски это значит: «Боже, Господи, Боже, Боже вышний, царь небесный, здесь нам судил ты погибнуть!»

В той земле Эфиопской были мы пять дней. Божией милостью зла не случилось. Много раздали рису, да перцу, да хлеба эфиопам. И они судна не пограбили.

А оттуда шли двенадцать дней до Маската. В Маскате встретил я шестую Пасху. До Ормуза плыл девять дней, да в Ормузе был двадцать дней. А из Ормуза пошел в Лар, и в Ларе был три дня. От Лара до Ширази шел двенадцать дней, а в Ширазе был семь дней. Из Ширази пошел в Эберку, пятнадцать дней шел, и в Эберку был десять дней. Из Эберку до Йезда шел девять дней, и в Йезде был восемь дней, а из Йезда пошел в Исфахан, пять дней шел, и в Исфахане был шесть дней. А из Исфахана пошел в Кашан, да в Кашане был пять дней. А из Кашана пошел в Кум, а из Кума — в Савэ. А из Савэ пошел в Сольтание, а из Сольтание шел до Тебриза, а из Тебриза пошел в ставку Узун Хасан-бека. В ставке его был десять дней, потому что пути никуда не было. Узун Хасан-бек на турецкого султана послал двора своего сорок тысяч рати. Они Сивас взяли. А Токат взяли да пожгли, и Амасию взяли, да много сел пограбили и пошли войной на караманского правителя.

А из ставки Узун Хасан-бека пошел я в Эрзинджан, а из Эрзинджана пошел в Трабзон.

В Трабзоне же пришел на Покров святой Богородицы и приснодевы Марии и был в Трабзоне пять дней. Пришел на корабль и сговорился о плате — со своей головы золотой дать до Кафы, а на харч взял я золотой в долг — в Кафе отдать.

И в том Трабзоне субаши и паша много зла мне причинили. Добро мое все велели принести к себе в крепость, на гору, да обыскали все. И что было мелочи хорошей — все выграбили. А искали грамоты, потому что шел я из ставки Узун Хасан-бека.

Божией милостью дошел я до третьего моря — Черного, что по-персидски дарья Стамбульская. С попутным ветром шли морем десять дней и дошли до Боны, и тут встретил нас сильный ветер северный и погнал корабль назад к Трабзону. Из-за ветра сильного, встречного, стояли мы пятнадцать дней в Платане. Из Платаны выходили в море дважды, но ветер дул нам навстречу злой, не давал по морю идти. Боже истинный, Боже покровитель! Кроме него — иного Бога не знаю.

Море перешли, да занесло нас к Балаклаве, и оттуда пошли в Гурзуф, и стояли мы там пять дней. Божиею милостью пришел я в Кафу за девять дней до Филиппова поста. Бог творец!

Милостию Божией прошел я три моря. Остальное Бог знает, Бог покровитель ведает. Аминь! Во имя Господа милостивого, милосердного. Господь велик, Боже благой, Господи благой. Иисус дух Божий, мир тебе. Бог велик. Нет Бога, кроме Господа. Господь промыслитель. Хвала Господу, благодарение Богу всепобеждающему. Во имя Бога

милостивого, милосердного. Он Бог, кроме которого нет Бога, знающий все тайное и явное. Он милостивый, милосердный. Он не имеет себе подобных. Нет Бога, кроме Господа. Он царь, святость, мир, хранитель, оценивающий добро и зло, всемогущий, исцеляющий, возвеличивающий, творец, создатель, изобразитель, он разрешитель грехов, каратель, разрешающий все затруднения, питающий, победоносный, всеведущий, карающий, исправляющий, сохраняющий, возвышающий, прощающий, низвергающий, всеслышающий, всевидящий, правый, справедливый, благой.

## СЛОВО О ЗЛЫХ ЖЕНАХ<sup>38</sup>

### **О произведении:**

Слова «о злых женах» (или «о добрых и злых женах») встречаются в древнерусской книжности уже с XI в.; они входят в состав Изборника 1073 г., Златоструя, Пролога, Измарагда, многочисленных сборников. Одним из основных источников древнерусских Слов является сочинение о женах, помещенное в «Вопросах и ответах» Анастасия Синаита, известное на Руси уже по Изборнику 1073 г. (Архангельский А. С. Творения отцов церкви в древнерусской письменности. Казань, ч. 4. 1890, с. 174). Русские книжники, опираясь на переводную литературу, создавали оригинальные версии слов «о злых женах», особенно начиная с XV в. К этому времени относятся списки второй редакции «Пчелы» (так называемой 68-главной), куда Слово «о женах» вошло в качестве 27-й главы Слова «о женах» в сборнике Ефросина, списки сочинения Даниила Заточника. С этими памятниками непосредственно связано и недавно обнаруженное в составе сборника XV в. «Златая Матица» сочинение, озаглавленное «А сѣ о злых женах» (о составе и характере сборника см.: Бобров А. Г., Черторицкая Т. В. К проблеме Златой Матицы. — ТОДРЛ, т. 43. Л., 1990, с. 341—358), публикуемое в настоящем томе.

Среди текстов, которыми древнерусские книжники пополняли свои сочинения «о злых женах», обращают на себя внимание своеобразные «мирские притчи» — небольшие сюжетные повествования (о муже, плачущем о злой жене; о продающем детей от злой жены; о старухе, глядящейся в зеркало; о женившемся на богатой вдове; о муже, притворившемся больным; о посекишем первую жену и просящем за себя другую; о муже, которого звали на зрелище игр обезьян и др.). Из всех этих мирских притч, представленных в Слове «о злых женах» из сборника «Златая Матица», только одна — о старухе, глядящейся в зеркало — восходит к греческому источнику; остальные же, встречающиеся также в 68-главной «Пчеле», у Даниила Заточника и в сборнике Ефросина (не считая многочисленных списков Слов «о женах» XVI—XX вв.), известны нам только по древнерусским рукописям.

Автор Слова «о злых женах» в «Златой Матице» включил в свое сочинение и целый ряд «мирских притч», тематически выходящих за рамки, определенные заглавием. Для большинства этих дополнительных фрагментов аналогий в древнерусских произведениях не обнаружено (подробнее см.: Бобров А. Г. «Мирские притчи» в древнерусской рукописи XV века. — ТОДРЛ, т. 46. СПб., 1993).

Текст Слова «о злых женах» публикуется по списку «Златой Матицы» (РНБ, ф. 905 (НСРК), 1946 г., № 35/2 F, лл. 141—143 об.), датируемому по водяным знакам второй половиной 70-х — началом 80-х гг. XV в.

### **А ЭТО О ЗЛЫХ ЖЕНАХ**

Что такое злая жена? Око дьявола, адское торжище, царица сквернам, воевода неправдам, стрела сатанинская, поражающая сердца многих.

Что такое (злая) жена? Сеть расставленная, прельщающая людей сладострастием: со светлым лицом и большими глазами подмигивающая, улыбками ослабляющаяся, устами

---

<sup>38</sup> Подготовка текста, перевод и комментарии А. Г. Боброва

поющая, словами чарующая, одеждами завлекающая, ногами играющая, делами убивающая. Потому и сказано: «От красоты женской многие погибли, и от нее любовь, словно огонь, возгорается».

Что такое злая жена? Колодец смрадный, стрела с отравой, ветер холодный, день непогожий, пустота в доме, бешеная сука, неистовая коза.

Некто вошел в богатый дом ко вдове и женился на ней, но была она злой. И люди хвалили его, он же говорил: «Не сейчас хвалите меня, но когда избавлюсь от нее».

Некому человеку досаждала жена, каждый день, бранясь, призывала она на него смерть и всякое зло, муж же не знал, что ему придумать. И притворился, что тяжело заболел, лег навзничь и стал кричать. А она начала по нему причитать. Муж же, приподнявшись, сказал ей: «Почему, окающая, оплакиваешь меня, а каждый день, бранясь, смерть на меня призываешь?» И, встав, схватил ее за волосы и начал бить ее палкой, и отпустил чуть живую. И она с тех пор перестала бранить мужа своего.

У некоего человека умерла злая жена. Он же через некоторое время начал продавать ее детей. И люди ругали его, а он сказал: «Боюсь, что если они уродились в свою мать, то, когда вырастут, меня продадут».

Он же сказал, оплакивая злую жену: «Не потому плачу, что умерла у меня жена, но потому плачу, что такая же будет и другая!»

Некий человек засек жену, ибо была она злой. Когда же он стал просить за себя другую, ему было сказано: «Как я могу отдать за тебя, ты же засек первую!» А он сказал: «Если такой же будет другая, то я и третью засеку!»

Жены ретивее себя не бери, а то не ты господином ей будешь, но она госпожой тебе будет.

Некто увидел старуху, которая мазалась румянами и приникала к зеркалу, и сказал: «Не в зеркало смотри, но в гроб!»

Злая судьба, злая жена: когда ее бьешь — бесится, а когда кроток с ней — заносится.

Звали некоего человека на зрелище обезьяньих игр, он же сказал им: «У меня дома обезьяна — жена злообразная!»

Большая помощь бесу в женском лукавстве.

Встречал я льва на пути и разбойника на распутье; от обоих убежал, а от злой жены не смог убежать.

Есть мужи — городами владеют, а женам служат.

Некто увидел иконописца, который продавал иконы и просил высокую цену, и сказал ему: «Не проси высокую цену, а то окажешься вторым Иудой, продавшим Господа!»

Некто увидел идущего скомороха и сказал ему: «Имеющий власть над бесами, куда идешь? Не к отцу ли своему Сатане?»

Некий человек работал на ростовщика. Шел он мимо его двора и видел у забора его псов, грызущих щетину, и сказал: «Я бы обрадовался, если б они хозяина этого дома съели!»

Некто увидел русалок, идущих по городу с подогнутыми рукавами, и сказал: «Вот адовы мироносицы идут к отцу своему Сатане!»

Некто увидел толстого человека и сказал: «Этому следует жить неподалеку от кладбища, чтобы не затруднять слишком тех, кто понесет его тело к могиле».

Мысли женские неустойчивы, как храм без крыши.

Если кто не видел и не слышал ничего, но, сам придумав, говорит что-либо недоброе, тот подобен псу, лающему на ветер.

Слышал ли это: «Что-либо недоброе не говори для ушей неразумных, но сгнои в своем сердце».

Нельзя дружить волку с ягненком, так и бедному с богатым.

Царь Дионисий слушал музыканта, хорошо игравшего на гуслях, и пообещал ему меру золота. И пришел тот наутро, прося меру золота, и сказал ему царь: «Ты меня развеселил игрой, а я тебя — обещанием. Теперь же покинуло меня твое увеселение, а тебя — мое обещание».

## СЛОВО О ХМЕЛЕ КИРИЛЛА, ФИЛОСОФА СЛОВЕНСКОГО

### **О произведении:**

*Слово о Хмеле в ряду аналогичных произведений, осуждающих пьянство, широко распространено в древнерусских рукописных сборниках. Оно предостерегает читателей от пагубного пристрастия к хмельному питию, рисует несчастья, грозящие пьянице — обнищание, лишение места в социальной иерархии, потерю здоровья, отлучение от церкви. В «Слове» соединено гротескное обращение к читателю самого Хмеля с традиционной проповедью против пьянства.*

*Один из ранних списков произведения относится к 70-м гг. XV в. и сделан рукой монаха Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина. В списке Ефросина есть оригинальный фрагмент («Лежа не мощно Бога умолити...»), сближающий его с стихотворным «Словом о ленивых и о сонливых и упиянчивых», известным только по списку второй половины XVII в. Но если Ф. И. Буслаев (Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин. — Буслаев Ф. О литературе: Исследования. Статьи. М., 1990, с. 183—185) и М. О. Скрипиль (Повести о Хмеле. — История русской литературы: т. 2, ч. 2, М.—Л., 1948, с. 291) считали, что «Слово о ленивых» возникло из этого Ефросиновского фрагмента, то исследовательница Т. А. Махновец высказала предположение, что произведение, близкое к «Слову о ленивых» существовало уже в XV в. и послужило источником для Ефросина (Слово о Хмеле в списках XV века. — Источниковедение литературы Древней Руси. Л., 1980, с. 155—162; Слово о Хмеле. — Словарь книжников и книжности Древней Руси Л.—Я. Л., вып. 2, 1989 (вторая половина XIV—XVI в.), ч. 2).*

*Слово о Хмеле, написано ритмической прозой, местами переходящей в рифмованную речь, что вместе с некоторыми стилистическими оборотами и сценами делает его близким к устно-поэтическим произведениям, известным в более поздних записях XVIII—XX вв.*

*Текст «Слова» публикуется по списку 70-х гг. XV в. монаха Ефросина, РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 9/1086. Л. 517—519 об.*

Так говорит Хмель всякому человеку, и священническому чину, и князьям, и боярам, и слугам, и купцам, и богатым, и бедным, и женам также говорит: «Не водитесь со мной, хорошо вам будет. И силен же я более всех плодов земных, от корня сильного, от племени великого и плодovitого, мать же моя Богом сотворена. У меня ноги тонки, а утроба не прожорлива, руки же мои держат всю землю, а глава моя высокомерна, а умом со мной не сравнится никто.

А кто подружится со мной и полюбит меня, сначала сделаю его блудником, а Богу не молящимся, а в ночи не спящим, а на молитву не встающим. А как проспится он, стон и печаль ему наложу на сердце, а как встанет он, с похмелья голова его болит, а очи его света не видят, и ничто доброе на ум ему не идет, а есть не желает, жаждет и горит душа его, снова пить хочет. Да изопьет с похмелья чашу, и другую, а там и многие пьет, так напиваясь все дни. И разбужу в нем похоти телесные, а потом ввергну его в большую погибель — град его или село опустошу, а самого по миру пушу, дети его в рабстве будут».

Потому, братья, не уподобляйтесь им, долго не спите, много не лежите, вставайте рано, а ложитесь поздно, молитесь Богу, чтобы не впасть в искушение. Лежать долго — не добыть добра, а горя не избыть.

Лежа нельзя Бога умолить,  
чести и славы не получить,  
а сладкого куска не съесть,  
медовой чаши не пить,  
а у князя в любви не быть,  
а волости или града от него не видать.

Нужда-скудость у него дома сидят, а болезни у него на плечах лежат, печаль и скорбь по бедрам голодом позванивают, нищета у него в кошельке гнездо свила, привязалась к нему злая лень, как милая жена, а сон — как отец, а оханье — как любимые дети. А козни на него смотрят, ловят его, как свинью. Свинья, если куда влезть не может, так рылом роет. Так и пьяница, если его в какой двор не пустят, у тына стоит, подслушивая. «Пьют ли во дворе этом, братья?» — спрашивает у каждого человека.

Пьянство князьям и боярам землю опустошает, а людей добрых и равных, и мастеров в рабство ввергает. От пьянства охи и убожество злое привязывается. Пьянство брата с братом ссорит, а мужа отлучает от своей жены. От пьянства ноги у него болят, а руки дрожат, зрение очей меркнет. Пьянство к церкви молиться не пускает и в огонь адский посылает. Пьянство красоту лица уничтожает. О ком молва в людях? О пьянице. У кого под глазами синяки? У пьяницы. Кому оханье великое? Пьянице. Кому горе горькое? Пьянице. Кто просыпает заутреню? Упившийся человек.

Пьяница Богу молиться не хочет, книг не читает и не слушает, свет от глаз его заслонен. Если же кто пьян умрет, тот сам себе враг и убийца, а жертва его ненавистна Богу.

Так говорит Хмель: «Если спознается со мною жена, какова бы ни была, а станет упиваться, учиню ее безумной, и будет ей всех людей горше. И воздвигну в ней похоти телесные, и будет посмешищем меж людьми, а от Бога отлучена и от церкви Божьей, так что лучше бы ей и не родиться».

## ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ, ЦАРЕВИЧЕ ОРДЫНСКОМ<sup>39</sup>

### **О произведении:**

«Повесть о Петре, царевиче ордынском» была написана в Ростовской земле, имевшей в XIV—XV вв. свою богатую литературную среду. На основании историко-литературных явлений, отразившихся в «Повести», время ее создания следует отнести к 70—80-м гг. XV в.

В основу повести положена легенда об ордынце — основателе монастыря или церкви. По мнению М. О. Скрипиля (Повесть о Петре, царевиче ордынском // Русские повести XV—XVI веков. М.; Л., 1958. С. 430—432), этот тип легенды в сложившемся виде начал бытовать на Руси с XV в. При написании второй части «Повести», как полагает М. О. Скрипиль, были использованы летописные записи, ведшиеся при Петровском монастыре.

Литературный талант автора «Повести» проявился прежде всего в том, что он сумел органично объединить названные источники. Последовательность изложения легенды автором «Повести» тесно связана с достоверными фактами из истории Ростовского княжества в пределах от 50-х гг. XIII в. до 20-х гг. XIV в. Следует отметить, что в исторических документах не упоминается ни имени самого Петра, ни его потомков.

Симпатии автора на протяжении всей «Повести» явно на стороне Петра и его рода. Произведение было написано не только для прославления Петровского монастыря и его основателя, но и с целью утвердить права на земельные угодья потомков Петра и монастыря. К ростовским князьям автор «Повести» относится с пренебрежением. Это позволяет считать, что произведение было написано в то время, когда ростовские князья теряли свою власть и авторитет, а Москва все больше и больше овладевала ростовскими землями.

В «Повести» ни разу ни один ростовский князь не назван по имени. По летописям и документальным материалам хорошо известен князь Борис Васильевич, который при епископе Кирилле (после 1237 г.) стал ростовским князем и скончался в 1278 г.; известны имена его внуков и правнуков, о которых говорится во второй части произведения. Возможно, это тоже своего рода выражение пренебрежительного отношения автора к ростовским князьям. Напротив, ростовским владыкам в «Повести» оказывается большое внимание. Упоминание их имен и позволяет связать описываемые события с конкретной исторической обстановкой. В произведении также названы по именам внуки и правнуки Петра, однако достоверность этого нельзя проверить. При сопоставлении описываемых в «Повести» взаимоотношений между князьями и потомками Петра с датами жизни упомянутых в «Повести» исторически достоверных лиц легко устанавливаются хронологические несовпадения. Поэтому надо признать, что автор памятника пользовался письменными источниками, повествующими о церковной жизни Ростовской епархии в XIII—XIV вв., и совершенно вольно, не обращаясь к документальным материалам, передавал историю династии ростовских князей.

Наблюдения над содержанием «Повести» позволяют считать, что автор ее был близок к церковной среде, и вполне вероятно, что он был иноком Петровского монастыря. Этот наделенный литературным талантом человек был также и хорошо образован, — он легко и свободно включает в свой текст цитаты и приводит аналогии из книг Священного Писания.

Текст «Повести» публикуется по списку: РНБ, Софийское собр., № 1364, изданному в кн.: Русские повести XV—XVI вв. М.; Л., 1958. С. 98—105; исправления внесены по списку: РНБ, Соловецкое собрание, № 854/964.

Согласно последнему исследованию «Повести» М. М. Беляковой (Древнерусская «Повесть о Петре, царевиче Ордынском». Л., 1990. Автореф. канд. дис.) публикуемый текст относится ко 2-му виду Основной редакции, который значительно отличается от 1-го вида, более близкого оригиналу.

<sup>39</sup> Подготовка текста и комментарии Р. П. Дмитриевой, перевод Л. А. Дмитриева

МЕСЯЦА ИЮНЯ, В ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ. ЖИТИЕ БЛАЖЕННОГО ПЕТРА, ПЛЕМЯННИКА ХАНА БЕРКЕ, КАК ОХВАТИЛ ЕГО СТРАХ БОЖИЙ, И УМИЛИЛСЯ ОН ДУШОЮ, И, ПРИЙДЯ ИЗ ОРДЫ В РОСТОВ В ГОД 6761 (1253), КРЕСТИЛСЯ, И КАК ВИДЕЛ В ВИДЕНИИ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА НА ТОМ ПОЛЕ, ГДЕ НЫНЕ ЦЕРКОВЬ СТОИТ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА И МОНАСТЫРЬ ПОСТРОЕН

Благослови, отче!

Святейший епископ ростовский Кирилл ходил в Орду на поклон к хану Берке, радея о храме святой Богородицы. И хан услышал от него о святом Леонтии, который родом был из Греческой земли, как пришел тот в Ростов по благословению патриарха, и как крестил город Ростов и привел в веру православную людей, и как удостоен был похвалы за это от русских князей, и от греческого царя и патриарха, и от всего вселенского собора, и о том, как после преставления Леонтия и до сих пор свершаются чудеса от раки с мощами его. И о многом другом беседовал епископ от евангельских наставлений.

И, услышав это от епископа, хан Берке любил его, и оказал ему почет, и пожаловал ему все, чего тот просил, и отпустил его. Напомню о том, что хан Берке велел, чтобы после смерти святого князя ярославские ежегодными дарами чтили гробницу его.

В то время разболелся сын хана, а был он у него один. Хан же, видя, что нет никакой пользы от врачей, сделал так: послал в Ростов за святейшим владыкой и обещал ему много даров, если исцелит сына его. Владыка же, повелев служить молебны по всем церквам в Ростове, освятил воду и, придя в Орду, исцелил той водой ханского сына. Хан возрадовался со всем домом своим, и вся Орда радовалась, и повелел хан давать владыке ростовскому ежегодную дань в храм святой Богородицы.

Некий же отрок, ханова брата сын, еще юный, который постоянно находился в свите хана, слышав поучения святейшего владыки, умилился душою и пролил слезы. Стал уходить он в степь, уединялся там и размышлял: «Как это веруют ханы наши в солнце и месяц, в звезды и огонь? А кто же истинный Бог?» Так размышлял он, словно древний Авраам. От благого корня отрасль благая бывает, а сей отрок — благая отрасль от злого корня. И надумал он уйти со святейшим владыкой, чтобы увидеть храм Русской земли и чудеса, свершаемые святыми, так говоря: «В наших землях от солнца, и от месяца, и от звезд, и от огня чудес не бывает».

Отец его, брат хана, в то время уже умер, а мать его владела большим богатством, которое хранила для него. Он же все это ни во что не ставил, а размышлял лишь о Боге. Мать же отрока, удрученная помыслами его, показала ему все богатства отца. А он все раздал нищим татарам и много золота владыке вручил.

И, утаившись ото всех, подобно древнему Мельхиседеку, сыну цареву, решил уйти, — как тот великой благодатью до крещения преисполнен был и саном иерея от Бога наречен, так этот отрок благодать в душу свою воспринял до крещения. Это о таких Бог в Евангелии сказал: «Многие из первых станут последними, а из последних — первыми». И пришел он с владыкою в Ростов и увидел церковь, украшенную золотом, и жемчугом, и драгоценными камнями, словно невесту нарядную. И пение в ней услышал дивное, подобно ангельскому: ведь тогда было в церкви святой Богородицы так, что левый клирос пел по-гречески, а правый — по-русски.

Когда услышал это отрок, пребывавший еще в язычестве, то разгорелся огонь в сердце его, и пал он в ноги святейшего владыки и воскликнул: «Господин мой, праведник Божий, я размышлял о богах хана и родителей моих, и о солнце, и о луне, и об огне — ведь все это сотворено Богом, а ваша вера правая и благая, ваш Бог истинный. Молю тебя — сделай так, чтобы и я принял святое крещение». Владыка внял его просьбе и велел ждать, ибо был он в раздумье — не ищут ли отрока.

Прошло немного времени, и хан Берке умер. В Орде начались раздоры и никто отрока не искал; тогда святейший владыка крестил отрока, дав ему имя — Петр. Все дни проводил Петр в храме у владыки, учась слову Господнему. Потом святейший владыка Кирилл преставился, и погребли его честно с песнопениями; вечная ему память! На владычный престол вступил святейший владыка Игнатий; в ростовском храме святой Богородицы он начал крыть купола оловом и пол мостить мрамором, стал ходить в Орду, собирая оброки ханские. Петр же, как научил его владыка Кирилл, слезные молитвы днем и ночью возносил к Богу и строго соблюдал пост.

Однако не оставил он и своей царской утехы: ездил охотиться с ловчими птицами на Ростовское озеро. Однажды после охоты, как всегда помолившись, он уснул на берегу озера. И когда наступил поздний вечер, то подошли к нему два мужа, сияющие словно солнце, и разбудили его, говоря: «Друг Петр, услышана молитва твоя и милостыня твоя угодна Богу».

О чудо, братия! Как не подивиться силе милостыни: подана была неверным, а когда уверовал в Бога, то услышан был им. Как в древности Евстафий Плакида милостыню творил язычником, а уверовав в Бога, и на земле получил великое вознаграждение, и после мученической смерти — Царство Небесное. О такой ведь милостыне сам Господь сказал своими устами: «Не пять ли птиц продаете за одну монетку, а ведь ни одна из них не забыта у Бога». Так же и этого блаженного Петра милостыня, розданная им до крещения, после крещения и молитв была Богом услышана.

Петр же, проснувшись, увидел этих двух мужей, ростом выше человеческого, так что от страха почудилось ему, что они до самых облаков и светлостью своей словно весь мир освещали. В ужасе дважды пытался подняться он и падал, в третий раз встал и снова упал. Эти же светлые мужи взяли его за руку и сказали ему: «Друг Петр, не бойся, мы оба посланы к тебе Богом, в которого ты уверовал и крестился, укрепит он род, и племя твое, и внуков твоих до скончания мира, и вознаградит тебя за милостыню твою, а за труды свои ты вечных благ удостоишься».

Потом дали ему два кошелька и сказали: «Возьми эти кошельки, в одном из них золото, а в другом — серебро. Утром пойди в город и выменяй три иконы — святой Богородицы с младенцем, святого Дмитрия и святого Николы — и дай за них столько, сколько спросят меняющие». Петр же взглянул на незнакомцев, и теперь показались они ему обычными людьми, и взял кошельки, и подумал, что кто-то из татарского племени хочет его поддержать, ибо не уразумел смысла их слов.

И, набравшись смелости, спросил у них: «Господа мои, если спросят у меня, кто иконы выменивает, о кошельках этих, то что отвечать? И кто вы такие?» Тогда сказали ему два светлых мужа: «Кошельки эти спрячь за пазуху, чтобы их никто не видел, и попросят обменники девять монет серебряных, а десятую — золотую. И ты отсчитай по одной, и, взяв иконы, иди к владыке, и скажи ему: “Петр и Павел, Христовы апостолы, послали меня к тебе, чтобы ты поставил церковь в том месте, где я уснул около озера. А эти иконы, которые я выменял, — их знамение, а кошельки эти они мне дали. Что велишь мне с ними

делать?» И что тебе повелит сделать, то и сделай. А мы — Христовы апостолы, Петр и Павел». И стали они невидимы.

Смотрите, братья, не обманул сказавший: «Прославляющего меня, — сказал, — прославлю»; ведь вот как этого Петра Бог прославил милостыни его ради!

В эту же ночь и к владыке, приведя его в трепет, явились святые апостолы и сказали ему: «Построй церковь на деньги епископии слуге нашему Петру, ибо много он владыке Кириллу золота в епископию дал, и освяти ее нашим именем. Если этого не сделаешь, то смертью погубим тебя». И, сказав это, стали невидимы. И святой Игнатий, проснувшись, начал размышлять о ночном видении. Золота же и серебра в епископской казне много было.

Позвал Игнатий князя и сказал ему: «Что делать, не знаю. Явились мне Петр и Павел, обликом как на иконе, так что утрашен был я, и сказали мне, чтобы построил я церковь в их имя. А я не знаю — где и как?» Князь же ответил ему: «Вижу, господин, что в смятении ты великом».

И когда они так разговаривали в доме епископа, то увидел князь Петра, который шел от церкви святой Богородицы в дом епископский, а от икон, которые он нес, свет сиял ярче, чем от огня, и поднимался выше церкви, и ужаснулся князь и воскликнул: «О владыка, что это за огонь?» Им показалось, что Петр охвачен пламенем, а никто другой огня не видел.

Петр же утром сходил в город, выменял иконы, как повелели ему святые апостолы, и, придя в дом епископа, поставил те иконы пред князем и владыкой, поклонился до земли и сказал: «Владыка, Христовы апостолы Петр и Павел послали меня к тебе и велели сказать, чтобы построил ты церковь в том месте, где я спал у озера, а иконы — знамение их. А эти кошельки они дали мне, что велишь мне с ними сделать?»

Было же тогда время перед службой. Князь и владыка встали и поклонились святым иконам, хотя и не ведали, откуда они: иконописцев в их городе не было, а Петр был еще юн и из татар. И спросили они его: «Кто был обменщиком икон этих?» Петр тогда ответил: «Я их на торгу выменял, господи мои». И думали они о видении владыки, — что так и будет. Свет же исходил от икон в горнице, где они стояли, словно сияние солнца, и все находившиеся там были в ужасе.

После службы владыка Игнатий отпел молебны святой Госпоже Богородице, святому Дмитрию и святому Николе. И почтил владыка Игнатий перед всеми Петра; повелел ему взойти на колесницу с иконами, а всем велел идти на то место, где спал Петр. Владыка, и князь, и все горожане провожали с песнопениями иконы до места Петрова, и на том месте, где спал он, отпели молебны святым апостолам. Во время молебна князь и владыка со слезами и радостью призывали имена святых апостолов Петра и Павла и пожертвовали их храму дома и села. Отпев молебен, люди, по велению князя, соорудили часовню, привезенную из города, и тыном ее оградил, и там Петр иконы поставил, и стали собираться в город.

Когда князь садился на коня, то в шутку сказал Петру: «Владыка тебе церковь построит, а я земли не дам! Что ты тогда будешь делать?» Петр же ответил: «По повелению, княже, святых апостолов я куплю у тебя из земли этой, сколько пожалует благодать твоя». Князь же, который видел кошельки Петровы в доме у епископа, подумал: «Владыка из-за страха перед святыми апостолами едва ли много у тебя возьмет». И сказал сам себе: «А что, если случится так, как при Илье, когда он сказал: “Горсть муки не истощится, сосуд с водой

полным останется, в кувшине масло не убудет”?)» И сказал он Петру с усмешкой: «Петр, вот что спрошу у тебя — как дал за иконы, так за мою землю выложишь ли по меже девять гривен серебра, а десятую — золотую? Сделаешь так?» Петр ответил: «Святые апостолы сказали мне — как тебе владыка велит сделать, сделай. Спрошу его, господин». И спросил у владыки. Владыка же, взяв крест, благословил Петра и сказал: «Чадо Петр, Господь сказал своими устами: “Каждому, просящему у тебя, дай”, — и ты, чадо, не пожалел же богатств родителей своих; ведь написано: “В кувшине масло не убудет, горсть муки не истощится”. Молитвой, чадо, святых апостолов род твоей благословен будет, заплати князю за землю, как он просит». Тогда Петр поклонился владыке до земли, и, уверовав словам его, подошел к князю, и сказал ему: «Да будет, князь, по воле святых апостолов и по твоему повелению».

И велел князь отмерить мерной веревкой от озера до ворот и от ворот до угла, а от угла снова к озеру — место очень большое. Петр же сказал: «Вели, князь, ров окопать, как в Орде делают, чтобы было обозначено место это». И так сделали: горожане, провожавшие иконы, сразу же выкопали ров, который сохранился доныне. Петр же начал от самой воды, вынимая из кошельков по одной деньге, выкладывая девять гривен серебряных, а десятую — золотую. И наполнили потом Петровыми деньгами повозки и те колесницы, на которых часовню везли, и кони едва смогли тронуться с места.

И видев такое множество золота и серебра, которого хватило бы, чтобы вдесятеро больше купить земли, — а кошельки все оставались полными, — князь и владыка подумали: «Что же это такое, Господи? Не по нашим грехам сие свершилось! Великую, видно, благодать обрел человек этот пред Богом, дивимся мы милости твоей, Господи, и могуществу святых апостолов». И поставили стражей у двора Петрова из назначенных людей, бывших на молебне, и определили, чтобы Петр ездил на коне. И была в городе радость великая, славилы Петра с великой честью и многими дарами одаривали, и много дней пели молебны, прославляя Бога и святых его апостолов за чудо, свершившееся в нынешнее время, и нищим много милостыни раздали и кормили их.

Не понимая, — как же свершилось чудо такое, — Петр задумался и пребывал в молчании и уединении. И владыка и князь, видя, что Петр затосковал, решили между собой: «Если этот юноша ханского рода уйдет в Орду, то беда большая может быть городу нашему». А был Петр высок ростом и красив лицом. И сказали они ему: «Петр, хочешь — сосватаем тебе невесту?» Петр же, прослезившись, ответил князю и владыке: «Я, господа мои, возлюбил вашу веру и, оставив веру отцов своих, пришел к вам. Воля Господня и ваша да будет». Князь же сосватал за него невесту из рода великих вельмож — жили еще тогда в Ростове ордынские вельможи. Владыка обвенчал Петра, и построил церковь, и освятил ее по заповеди святых апостолов.

Князь брал с собой Петра на царскую утеху, около озера тешил его ястребиной охотой, чтобы его в нашей вере удержать. И как-то сказал князь Петру: «Великую ведь ты благодать обрел от Бога и сам, и городу нашему, ведь написано: “Воздам Богу от всех благ, как он дал нам”. Прими от меня, Петр, этот небольшой надел земли нашей вотчины, что напротив храма святых апостолов подле озера этого. Я тебе и грамоты напишу». Ответил ему Петр: «Я, княже, ни отцом, ни матерью не обучен землею владеть, и грамоты к чему эти?» Князь же сказал: «Я все сделаю, как нужно, Петр. А грамоты вот для чего: чтобы не отнимали те земли дети мои и мои внуки у твоих детей и внуков после нас». Тогда Петр сказал: «Пусть будет, княже, воля Господня». И велел князь при владыке написать грамоты на владение многими землями вдоль озера, и водами, и лесами, и сохранились те грамоты доныне, и переписали на Петра усадьбы, расположенные по его землям. Орда же тогда набегов не совершала, и прошло много лет, и было тихо.

Был у Петра нрав спокойный и покладистый и добрый обычай во всем. И так полюбил князь Петра, что и за трапезу без него не садился, и владыка побратал Петра с князем в церкви. И стал Петр названным братом князя. И родились у Петра сыновья — его наследники.

В скором времени скончался святейший епископ Игнатий и обрел Царство Небесное. Вечная ему память!

Через несколько дней после владыки умер старый князь. И дети князя звали Петра дядей до самой его кончины. И, много лет прожив в мире и спокойствии, в глубокой старости приняв монашество, преставился Петр, отошел к Господу, которого он так возлюбил. И погребли его на том месте, где спал он, возле церкви святых Петра и Павла. И с того времени возник монастырь сей.

Внуки же старого князя забыли Петра и его благие дела и начали отнимать луга и окраинные земли у Петровых детей. Тогда сын Петра пошел в Орду и сказал, что он ханова брата внук. Обрадовались его дядья, с почетом приняли его, одарили многими подарками и ханского посла выхлопотали для него. Пришел посол хана в Ростов и, рассмотрев грамоты Петра и старого князя, рассудил тяжущихся. И определил и утвердил рубежи владений Петрова сына по грамотам старого князя, и дал ему от имени хана грамоту с золотой печатью, которая есть и у молодых князей, внуков старого князя. После этого посол ушел.

И Молодые князья меж собой и своим боярам стали говорить: «Слыхали мы, что родители наши звали дядей его отца — Петра, что дед наш много у него серебра взял и братался с ним в церкви, а все равно — род татарский, не наша кость, какая это нам родня? Серебра нам ни от них не досталось, ни от родителей наших». И вот такие разговоры вели они, и не вспоминали уже о чудесах святых апостолов, а про любовь прародителей своих забыли. И так вот прожили они много лет, завидуя детям Петра, потому что те в Орде большим почетом пользовались. У сына же Петрова родились сыновья и дочери, и в глубокой старости отошел он к Господу.

Внук же Петра, Юрий, по завету родителей своих с почитанием относился к храму Господи святой Богородицы в Ростове — много гривен жертвовал и пиры учреждал священникам, и клирикам, и всему собору церковному, и отмечал праздники и память святых апостолов Петра и Павла, и каждый год поминал родителей и прародителей своих.

И рыбаки их всегда больше вылавливали рыбы, чем городские рыболовы. Словно бы играя, петровские рыбаки бросят сеть и богатый улов извлекают, а городские рыболовы как ни трудятся, а улова почти нет.

И пожаловались они князю: «Князь наш, господин, если петровские рыбаки не перестанут ловить, то озеро наше Ростовское будет пусто. Они всю рыбу выловят». Тогда правнуки старого князя сказали Юрию: «Слышали мы изначала, что дед ваш получил грамоты от прародителей наших на место под монастырь ваш и на земли, рубежи которых обозначены, а озеро наше — грамот на него нет; так пусть ваши рыбаки больше в озере не ловят». Так сбылось предсказание старого князя, побратима Петрова, который говорил, что грамоты нужны, чтобы не нарушили договора внуки.

Услышав такое, Юрий, внук Петра, пошел в Орду и объявил, что он правнук ханова брата. Дядья же Юрия приняли его с почетом, одарили многими подарками и ханского посла

выхлопотали для него. Вот пришел посол в Ростов и остановился в монастыре Петра и Павла, возле озера. Испугались князя ханского посла, стал он судить их с внуком Петровым. Юрий положил перед послом все грамоты, и посол, рассмотрев те грамоты, говорит князьям: «Не ложны ли эти грамоты на земли? Ваша ли вода в озере и есть ли под ней земля? Можете вы воду снять с земли той?» Ответили князья: «Да, господин, не ложны грамоты эти. А земля под водою есть; озеро — наша вотчина, господин. А снять воду с земли не можем, господин». И сказал посол ханский, судья: «А если не можете снять воду с земли, то почему своей называете? Это сотворено всевышним Богом на благо всем людям». И присудил по земле и воду Юрию, внуку Петрову, ханский посол: «Как куплена земля, так и вода, прилегающая к ней». И дал он Юрию от имени хана грамоту с золотой печатью и ушел. И не смогли князья ростовские никакого зла сотворить Юрию. И установилась мирная жизнь на долгие годы. И славили Бога, как повелось еще от родителей, и чтили память святых апостолов со слезами и с радостью, вспоминали с умилением чудеса их, и каждый год поминали своих родителей, раздавая щедрую милостыню.

И уже вырос правнук Петров — сын Юрия Игнат. При его жизни вот что произошло.

Пришел Ахмыл на Русскую землю, и сжег город Ярославль, и двинулся на Ростов со всей силою своею, и устрашилась его вся земля, и бежали князья ростовские, и владыка Прохор побегал. Игнат же нагнал владыку, извлек меч и сказал ему: «Если не пойдешь со мной навстречу Ахмылу, то я сам зарублю тебя. Наше это племя, там есть мои сродники». И владыка послушался его и со всем клиром, облачившись в ризы и взяв крест и хоругвь, пошел навстречу Ахмылу. А перед крестным ходом шел Игнат с горожанами, взяв дары для забавы ханской — ловчих кречетов, шубы и пития разные, остановился он на краю поля около озера, преклонил колени пред Ахмылом и, назвавшись потомком ханского рода, сказал: «А это село хана и твое, господин, купля прадеда нашего, где чудеса происходили, господин».

Страшно было видеть грозную рать татарскую. И говорит Ахмыл: «Ты меня утехой ханской даришь, а кто эти такие в белых ризах и с хоругвью, наверное, биться с нами хотят?» А Игнат ответил: «То богомольцы хана и твои, пришли благословить тебя, а это несут божницу — так полагается по закону христианскому».

А в это время под Ярославлем находился сын Ахмыла, охваченный тяжким недугом, везли его на повозке. И велел Ахмыл привезти сына своего, чтобы благославил его владыка. И владыка Прохор, освятив воду, дал ему выпить ее и благословил его крестом. И тот выздоровел. Ахмыл же, увидев, что сын его здоров, сошел с коня, остановился против крестов, поднял руки к небу и сказал: «Благословен Бог вышний, который внушил мне мысль идти сюда. Праведен ты, господин епископ Прохор, так как молитва твоя воскресила сына моего. Благословен и ты, Игнат, ибо спас людей своих и сохранил город этот. Ханская кость, наше племя; если тебе будет здесь какая-нибудь обида, не поленись прийти к нам». Взял Ахмыл сорок гривен серебра и дал их владыке, а тридцать гривен дал клиру его, и принял подарки у Игната, и целовал его, и поклонился владыке, потом сел на коня своего и пошел восвояси. Игнат же проводил Ахмыла, потом вернулся с владыкой и горожанами в город, и возрадовались все, и, отпев молебны, прославили Бога.

Пошли, Господи, утешение читающим и пишущим о делах давних прародителей наших, дай им здесь покой и в будущей жизни, а всему роду Петрову здоровья и многих лет жизни. Пусть не оскудеет радость без печали и будет о них вечная память до скончания мира.

Господу нашему Иисусу Христу слава, держава, честь и поклонение ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

## ЧЕТЫРЕ ПОСЛАНИЯ И ЗАВЕЩАНИЕ НИЛА СОРСКОГО<sup>40</sup>

### **О произведении:**

*Нил Сорский — русский церковный и общественный деятель второй половины XV — начала XVI в., автор ряда сочинений («Предания ученикам», «Устава», двух молитв, по крайней мере четырех посланий и «Завещания»), составитель, редактор и переписчик книг. Родился в Москве около 1433 г. в семье Майковых, служил в молодости «судиям книгочеем», принял монашеский постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, путешествовал на Афон, в подвластный туркам Константинополь, в Святую Землю. По возвращении на Русь ушел из монастыря и километрах в двадцати от него основал свой скит на лесной речке Соре. Прославился в качестве «заволжского» (по отношению к Москве) старца, идеолога нестяжательной, наполненной умственной и книжной работой жизни в тиши лесной пустыни с небольшим числом учеников. В 1503 г. на соборе в Москве выступил против ставшего традиционным монастырского владения селами и таким образом стал начинателем движения «нестяжателей», против которых выступил Иосиф Волоцкий и его последователи «иосифляне». Умер 7 мая 1508 г. Послания Нила Сорского прекрасно показывают, каким деликатным он был в отношениях с людьми и какую важность придавал постоянному внимательному чтению, «испытанию», «святых писаний», «божественных писаний». Завещание же хорошо характеризует его как человека, избежавшего мирской славы и заботившегося о судьбе книг, — как тех, которые писал он сам, так и тех, которыми пользовался.*

*Три больших послания старца Нила известны во множестве списков (см.: Прохоров Г. М. Послания Нила Сорского // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 125—143). Ученые пытались приписать ему еще некоторые послания (см., например: Архангельский А. С. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев. СПб., 1882. С. 56—57), но достаточных для этого оснований не обнаружено.*

*Первым из трех в рукописях всегда помещается послание «брату, вопросившему его о помыслѣх». В некоторых списках указан его получатель — Вассиан Патрикеев. В миру — князь Василий Иванович Патрикеев, в 1499 г. он был насильно пострижен в монахи в Кирилло-Белозерском монастыре, встретился там с Нилом Сорским и сделался его учеником. Впоследствии как писатель-публицист он развивал нестяжательские взгляды Нила на право монахов владеть селами и выступал против применения к еретикам смертной казни. В 1431 г. он был осужден и заточен в Иосифо-Волоколамском монастыре, где и умер. «Вопрошая» Нила Сорского «о помыслѣх», он, видимо, еще недавно простился со светской жизнью. Будучи пострижен насильно, он, однако же, явно старался победить в себе прежние мирские влечения, но это давалось ему с трудом. Послание — наставление ему от опытного монаха.*

*Вторым в рукописях помещается послание «иному о ползе». В списке РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, 188 (1576), вторая половина XVI в., л. 98 об., подзаглавием этого послания написано: «Гурей Туш<ин>». Гурий Тушин (1452 или 1455—1526) — монах и игумен (1484) Кирилло-Белозерского монастыря, один из близких Нилу Сорскому людей младшего поколения, книжный писец, организатор монастырского книгописания, составитель сборников и редактор. Вскоре после смерти Нила Сорского он с помощниками переписал с автографа Нила Сорского составленный тем трехтомный «Сборник», собрание расположенных в хронологическом порядке (с сентября по август) житий святых. Адресованное Гурию послание Нила является ответом на устную, а затем и письменную просьбу написать, «како не заблудити от истиннаго пути». Рукой*

---

40 Подготовка текста, перевод и комментарии Г. М. Прохорова

Гурия Тушина сделан список трех посланий Нила Сорского в рукописи РНБ, Кирилло-Белозерское собр., 142/1219, 10—20-е гг. XVI в.

Третье послание «къ брату, просившу от него написати ему еже на ползу души» адресовано Герману Подольному. В списке РНБ, Софийское собр., 1460, вторая четверть XVI в., рядом с этим посланием на листах 325 об.—326 снизу написано: «Послание старца Нила Заволжскаго Сорския пустыня и скита Герману Подольному», а в РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, 188, л. 103 об., стоит: «Герман Пустын<ник>». И Герман Пустынник, или Подольный, жил в Кирилло-Белозерском монастыре одновременно с Нилом Сорским; затем он навещал его в лесном скиту. У них, видимо, возник при встрече спор. Вспоминая этот разговор, Нил в послании просит его не скорбеть из-за того, что было тогда между ними сказано. Главная мысль этого послания: инок во всем должен постоянно руководствоваться святыми писаниями, постоянно их читать и «испытывать», обдумывать. Это послание могло быть написано не раньше, но и не намного позже 70—80-х гг. XV в. Известен его список (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., 101/1178, последняя четверть XV в.), сделанный рукой получателя.

Маленькое четвертое послание Нила Сорского известно лишь в одном списке конца XV — начала XVI в. (РГБ, Волоколамское собр., № 577). Оно следует здесь за тремя обычно переписываемыми вместе посланиями Нила Сорского. Кому оно адресовано, мы не знаем, но, судя по словам об адресате как о «брате с вѣсточныхъ страны», возможно, выходцу с греческого «Востока» (из Крыма через Морею и Рим), мангунскому (на Руси писали «Манкувский» или «Мавнукский») князю Константину, ставшему на Руси Кассианом Учемским.

Списки посланий, сделанные рукой самого Нила, нам неизвестны, как неизвестны и те письма, на которые он отвечал.

Три послания Нила Сорского воспроизводятся здесь по рукописи РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 89/1166, конец XV — начало XVI в., лл. 126—156, происходящей из Нило-Сорского скита. Маленькое четвертое — по упомянутому единственному списку РГБ, Волоколамское собр., № 577, того же времени, лл. 22—22 об. Завещание печатается по рукописи РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 188, Сборник, XVI в., лл. 18—19.

ПОСЛАНИЕ ВАССИАНУ ПАТРИКЕЕВУ

## ПОСЛАНИЕ ВЕЛИКОГО СТАРЦА БРАТУ, СПРОСИВШЕМУ ЕГО О ПОМЫСЛАХ

Похвальное желание подвигло тебя, о возлюбленный, — ты стараешься услышать слово Божие для утверждения себя, для сохранения от зол и поучения в благом. Но надо бы тебе, господин, это узнавать от хорошо разумеющих. Ты же требуешь этого от меня, неразумного и грешника. А я и как ученик непригоден, оттого и отказывался и откладывал так долго: не потому что не хотел оказать услугу хорошему твоему пожеланию, но из-за неразумия и грехов моих. Что же скажу я, сам не сделав ничего хорошего! Какой разум у грешника? Только грехи. Но поскольку ты меня многократно к этому понуждал, — чтобы я написал тебе слово о созидании добродетели, то я и дерзнул написать тебе то, что выше меры моей, не смогши пренебречь твоей просьбой, — чтобы более ты не обиделся.

Вопрос же твой — о приходящих прежних мыслях, из мирской жизни. И это ты и сам по опыту знаешь, — сколько скорбей и разврата содержит этот мир мимоходящий, и сколько лютых зол причиняет он любящим его, и как посмеивается, отходя от рабствовавших ему, сладким являясь им, когда ласкает их чувства, горьким оказываясь впоследствии. Ведь поскольку они считают блага его умножающимися, когда удерживаются им, постольку растут у них скорби. Ибо мнимые его блага по видимости суть блага, внутри же они наполнены многим злом. Поэтому тем, кто имеет разум поистине благой, он ясно показывает себя, — да не будет ими возлюблен.

По переходе из этой жизни что бывает? Сосредоточься на том, о чем речь. Какую пользу принес мир держащимся за него? Хотя и славу, и честь, и богатство некоторые имели, не все ли это ни во что обратилось и, как тень, прошло мимо и, как дым, исчезло? И многие из них, вращаясь среди дел мира сего и любя движение его, во время юности и благоденствия своего смертью пожаты были: как цветы полевые, процветше, опали и против желания отведены были отсюда. А пребывая в мире сем, не уразумели они зловония его и заботились об украшении и покое телес, изобретая способы, пригодные для получения прибылей в мире сем, и проходили обучение тому, что венчает тело в сем преходящем веке. И если это все они получили, а о будущем и нескончаемом блаженстве не позаботились, то что надо думать о таковых? Только, что безумнее их в мире нет, как сказал некий премудрый святой.

Некие же из них были благоговейнейшими людьми, и занимали ум свой мыслями о желанном спасении души, и вели борьбу со страстями, и приличествующее добродетелям по возможности совершали, желая оторваться и отступить от мира сего, но не смогли выпутаться из его сетей и избежать его коварств.

Тебя же Бог, возлюбив, изъял из мира сего и поставил в чин службы Своей по милости и по замыслу Своему. За это ты должен много благодарить Его милость и делать все, что в силах, для благого угождения Ему и для спасения своей души, прошлое мирское забывая как ненужное, вперед к добродетелям устремляясь как к ходатаям о вечной жизни. Радуйся, иди к почести высшего звания, в небесном отечестве для подвизавшихся приуготовленной.

А что ты мне сказал о нечистых помыслах, врагом душ наших приносимых, — из-за них не очень поддавайся скорби, не пугайся, потому что не только у нас, немощных и подверженных страстям, бывает от них досада, говорят отцы, но и у достигших преуспевания, в достохвальном житии пребывающих и отчасти сподобившихся духовной благодати. И у них бывает много борьбы с такими помыслами, и в великом подвиге из-за них они оказываются, и с трудом отгоняют их благодатью Божией, всегда стараясь их отсекасть.

И ты, утешаясь этим, старательно отсекай лукавые помыслы. Используй против них всегда доставляющую победу молитву, — Господа Иисуса призывая. Этим ведь призыванием отгоняемые, бегом они отойдут. Как сказал Иоанн Лествичник: «Иисусовым именем бей нападающих, ибо крепче этого оружия нет». Если же сильно ополчатся на тебя воюющие с тобой, тогда, встав и очи и руки к небу возведя, говори усердно со смирением: «Помилуй меня, Господи, так как я немощен. Ты, Господи, силен, и Твой это подвиг. Ты воюй за нас и победи, Господи». И если будешь так делать, не ленись, обязательно на опыте узнаешь, что силой Вышнего они побеждаются.

Занимайся также и каким-либо рукоделием, ибо и этим лукавые помыслы отгоняются. И это было передано ангелом одному из великих святых. И учи что-нибудь из Писания наизусть, на том ум сосредоточивая: и это возбраняет доступу к нам нашествия бесовского. И это — изобретение святых отцов.

И сохраняй себя от бесед, чтобы не слышать и не видеть неподобающего, что возбуждает страсти и укрепляет нечистые помыслы, и Бог поможет тебе.

О страхе же что ты говоришь, — это младенческий обычай немужественной души. Тебе же это не свойственно. И когда случится с тобой такое, старайся, чтобы он не овладел тобою, и утверди сердце свое в уповании на Господа, и говори в себе так: «Есть у меня

Господь, охраняющий меня, и без Его воли не может никто ни в чем повредить мне. Если же Он что-то попускает на меня, чтобы я пострадал, то я принимаю это без лютой злобы и не хочу, чтобы не исполнилось Его желание, поскольку Господь больше меня знает и хочет полезного мне. И я за все это благодарю благодать Его». И тогда благодатью Божией дерзновенен будешь в благом. Молитвой же всегда и при этом вооружайся. И когда в каких местах это с тобой случится, туда особенно старайся приходить и, руки крестообразно подняв, Господа Иисуса призывай. И с помощью Вышнего «не убоишься от страха ночного и стрелы, летящей днем». Об этом достаточно.

Обо всем же остальном, что похвально, честно и добродетельно, — о том думай и то делай, мудрым бывая в благом, всякое же зло ненавижда. Будь послушен наставнику и прочим отцам о Господе во всяком благом деле.

Службу же, которая ныне поручена тебе, или иную, к какой перейдешь, исполняй, служа с радостной готовностью и с благообразной старательностью, как Самому Христу, всех братьев считая святыми.

Если случится тебе задать вопрос или дать кому-либо ответ, веди беседу благожелательно и ласково, с духовной любовью и истинным смирением, без лености и не обижая брата. С благоговейными отцами общайся, но во время и в меру. От не таковых же сторонись, береги себя, и старайся никого не укорить, ни осудить ни в чем, хоть и кажется тебе что-то нехорошим. А себя считай грешным и вовсе негодным.

Если потребуется тебе какая-то вещь от настоятеля или прочих приставленных к тому отцов, то прежде помолись и рассуди в себе, полезно ли это, и тогда спроси. Если же не получится так, как хочешь, не огорчайся и не ожесточайся из-за того, что сделали не по твоему желанию, хоть и хорошим кажется тебе то, что ты хочешь, но терпеливо отойди и, тихо ожидая, все делай. И если к благоугождению Божию и к спасению своей души будешь стремиться, обязательно известит Бог кого-нибудь, как сделать по твоей потребности, и время и руку помощи подаст.

Будь также усерден во внимании божественным писаниям, и их словами, как живой водой, напаивай свою душу и старайся по мере сил, им следуя, поступать. Также людям, обладающим пониманием божественных писаний и духовной мудростью, чья жизнь свидетельствует о добродетелях, — таким людям старайся повиноваться и их житию подражать. Имей терпение в скорбях и за обидивших тебя молись, и относись к ним как к благодетелям.

И то разумей, что говорю тебе о смысле божественных писаний как сообщаемом желании благодетельности Божия: так, от века святые, поступавшие по правде и получившие обетования, ходя путями добродетели, не только беды и скорби претерпели, но и через крест и смерть проходила их стезя. И это знак любви Божией, — когда скорби достаются тому, кто поступает по правде. И даром Божиим это называется, ибо апостол пишет: «Это дано было нам от Бога — не только во Христа веровать, но и за Него страдать». Это ведь делает человека причастным страстям Христовым и уподобляет святым, претерпевшим скорби за имя Его. И не иначе благодетельствует Бог любящих Его, — только посылает им искушение скорбями. Этим и отличаются любимцы Божий от прочих: эти ведь в скорбях живут, а любящий мир сей веселятся в пище и покое. Это и есть правый путь — претерпевать искушения скорбей за благочестие. На этот путь направляя, Бог приводит страдальцев Своих в жизнь вечную. И потому с радостью подобает нам шествовать непорочно этим путем, ходя в согласии с заповедями Господними, всем сердцем благодаря Его за то, что Он послал нам эту благодать, возлюбив нас, — непрестанно молясь о

благости Его, помня о конце этой скорбной жизни и о бесконечном блаженстве будущего века. И Бог, податель всякой радости и утешения, утешит сердце твое и сохранит тебя в страхе Своем молитвами Пречистой Богородицы и всех святых.

Незабвенным же Господа ради сделай и меня, грешника, в молитвах своих, — говорящего тебе хорошее, а не делающего: да выведет меня Господь из потопа страстей и трясины грехов.

### **ПОСЛАНИЕ ГУРИЮ ТУШИНУ ТОГО ЖЕ — ИНОМУ. О ПОЛЬЗЕ**

О чем устами к устам беседовала со мной святыня твоя, честнейший мой господин-отец, о том же и писаньца затем присылал ко мне: требуешь от моей худости послать тебе написанным слово, руководствующее к благоугождению Богу и к пользе души. А я, господин, человек грешный и неразумный, и всеми страстями побеждаемый, боялся приняться за такое дело. Поэтому отказывался и откладывал. Но поскольку твоя духовная любовь заставила меня дерзнуть на то, что выше моей меры, — писать нужное тебе, постольку я решился на это.

Вопрос твой первый о блудных помыслах: как им сопротивляться. В этом не только у тебя труд и подвиг, но у всех подвизающихся с Богом, потому что эта тяжелая борьба, говорят отцы, состоит из двойной войны: в душе и в теле, — и труднее ее нет у естества. По этой причине подобает очень стараться и строго, в бодрости охранять свое сердце от этих помыслов и, страх Божий имея пред очами, помнить наше обещание, которое мы дали, — пребывать в целомудрии и чистоте. Целомудрие же и чистота — это не только внешняя жизнь, но — когда сокровенный сердца человек остается чистым от скверных помыслов. Потому надо всячески старательно отсекают эти помыслы; а оружие против них следует применять такое — молиться Богу прилежно, как научили святые отцы, — различными способами, тождественно же по смыслу. Один ведь говорит, что, от Давида научившись, молится так: «Преследующие меня ныне окружили меня». Радость моя, “избавь меня от окруживших меня”». Другой из них говорит так: «Боже, о помощи мне услышь», — и тому подобное. Другой, тоже из них: «Суди, Господи, обижающих меня и запрети борющимся со мной», — и дальнейшее псалма.

Призывай также на помощь тех, о ком узнаешь из писаний как о подвизавшихся в целомудрии и чистоте. Если же тяжелой для тебя окажется брань, тут же, встав и возведя очи и руки к небу, так помолись: «Ты силен, Господи», и Твой это подвиг. Ты воюй и победи в этом, Господи, за нас». И воскликни, обращаясь к Всесильному в помощи, смиренным голосом: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен». Таково предание святых. И если будешь применять эти приемы борьбы, узнаешь на опыте, что благодатью Божией эти искушения ими легко побеждаются.

И всегда оружием Иисусова имени наноси раны ратникам. Ибо крепче этой победы нет.

Береги себя и от того, чтобы смотреть на такие лица и слушать такие речи, которые возбуждают страсти и навевают нечистые помыслы. И Бог охранит тебя. Об этом достаточно.

Второй же твой вопрос — о помысле хуления. И этот помысел бесстыден и очень лют. Нападает он сильно, но непостоянно. И не только ныне, но и в древности он был, и у великих отцов и святых мучеников, и в то самое время, когда мучители собирались подвергнуть их тела ранам и горькой смерти за исповедание веры в Господа нашего Иисуса Христа.

А побеждать этот помысел надо так: не свою душу, но нечистого беса считать его виновником. Говорить же против духа-хулителя следующее: «Иди за меня, сатана. Господу Богу моему поклонюсь и Ему одному послужу. К тебе же хула твоя, на твою голову возвратится, и тебе ее припишет Господь. Отступи же от меня. Бог, создавший меня по Своему образу и подобию, да удалит тебя».

Если же и после этого, бесстыдствуя, он нападает, переведи мысль на какой-то иной предмет, божественный или человеческий, — только не вне подобающих.

Береги себя и от гордыни и старайся ходить путями смирения. Ибо сказано отцами, что хулительные помыслы рождаются от гордыни. Но бывают и от бесовской зависти. От того ли, или от иного они бывают, но как олени суть губители ядовитых зверей, так и для этой страсти губительно смирение. И не только для этой, но и для прочих, — сказано было святыми отцами.

Третий вопрос. А что ты спрашиваешь, как отступить от мира, — и это усердие твое хорошо. Только старайся, чтобы на деле это в тебе совершилось. Это ведь выровненный путь к вечной жизни, которым шли, познав и поняв премудрость, преподобные отцы.

Особенно же тому нужно отступление от мира, у кого в обычае было совокупление с миром. Ведь если он не отступит, то некие образы и картины мира, прежде в нем возникавшие оттого, что он слышал и видел мирские вещи, вновь появятся. И не сможет он трезвенно пребыть в молитве и поучаться волям Божиим. Желаящий же поучаться благому угождению Божию должен отступить от мира.

Не возжелай также вести беседы с обычными друзьями, думающими о мирском и занятыми попечением о бессмысленном — о приращении монастырского богатства и стяжании имуществ, воображающими, что они делают это как благое дело, и от незнания божественных писаний или от своих пристрастий полагающими, что идут путем добродетели. И ты, человек Божий, с таковыми не общайся. Не подобает на таковых и словами наскокивать, ни поносить, ни укорять их, но надо предоставлять это Богу: Бог в силах их исправить.

Также уберегай себя во всем от дерзости. Дерзость ведь, как написано, подобна великому огню, от которого, когда он возникает, все убегают. И отворачивайся, чтобы не слышать и не видеть принадлежащего братьям, их тайн и их дел. Ибо это делает душу опустошенной от всякого блага, приучает смотреть на недостатки ближнего и мешает оплакивать свои грехи.

И не старайся быть скорым в речах при беседах с братией, даже если это кажется полезным. Но если какой-то брат имеет что сказать нам и поистине нуждается в слове Божиим, то, если имеем, мы должны подать ему не только слово Божие, но, по свидетельству апостола, и свою душу. Общайся с таковыми и помогай в делах тем, кто мыслит духовно, каковы суть дети Божиих тайн. Беседы же с людьми иного рода, пусть и малые, иссушают цветы добродетелей, только-только расцветающие от сохранения безмолвия и наполняющие мягкостью и молодостью сад души, насаженный при источниках вод покаяния, как сказал премудрый святой.

Четвертый вопрос. А что ищешь, как не заблудиться, сбившись с истинного пути, — и об этом даю тебе благой совет.

Свяжи себя законами божественных писаний и последуй им — писаниям истинным, божественным. Писаний ведь много, но не все они божественные. Ты же, в точности убедившись в их истинности из чтения их и из бесед с разумными и духовными мужами, — поскольку не все, но разумные люди понимают это, — без свидетельства таковых писаний ничего не делай, как и я. О себе говорю тебе потому, что по Боге любовь твоя делает меня безумным настолько, что я говорю о себе. Но как сказано: «Тайны мои любящим меня открываю». Того ради я и сказал о себе.

Я ведь ничего не делаю без свидетельства божественных писаний, но святым писаниям следуя, делаю сколько по силам. Когда мне нужно что-либо сделать, я прежде всего вопрошаю божественные писания. И если не найду согласное с моим соображением о начинании дела, откладываю его, пока не найду. Когда же найду благодать Божию, делаю в благой уверенности как одобренное.

Так и ты, если хочешь, поступай по святым писаниям и согласно их смыслу старайся осуществлять заповеди Божий и предания святых отцов. И если какие-нибудь волнения, связанные с житейскими делами, подвигнут сердце твое, не пугайся, утверждаясь на недвижимом камне заповедей Господних и ограждаясь преданиями святых отцов. И во всем будь ревностным подражателем тем, кого видишь и о ком слышишь из святых писаний, что они имеют засвидетельствованное житие и мышление. Ибо их движение по пути правое. И записывая это в сердце своем, пойдя неуклонно в путь Божий, и не собьешься благодатью Божиею в сторону от истины. Ибо написано, что невозможно правильно мыслящему и благочестиво живущему погибнуть. А кто с растленным разумом делает дело Божие, те уклоняются от правого пути.

И шествуй, не возвращаясь, возложив руку на плуг Господен и не озираясь назад, да пригоден будешь для царства Божия. И постарайся, приняв семя слова Божия, чтобы не оказалось сердце твое ни путем, ни камнем, ни тернием, но — благой землей, творящей множество плодов во спасение своей души. Да и я, усмотрев твою разумность при слышании слова Божия и обретя в тебе то, что достойно похвал, в деле осуществления добродетелей, возрадуюсь, благодаря Бога, — увидав, что ты и услышал слово Божие, и сохраняешь его. Молю же тебя Господа ради молиться за меня, грешника, говорящего тебе хорошее, а никак не делающего.

Бог же, творящий преславное и подающий всякое благое даяние исполняющим волю Его, да подаст тебе разум и уверенность, чтобы творить волю Его святою молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, ибо благословен вовеки. Аминь.

## **ПОСЛАНИЕ ГЕРМАНУ ПОДОЛЬНОМУ**

### **ПОСЛАНИЕ ТОГО ЖЕ ВЕЛИКОГО СТАРЦА К БРАТУ, ПРОСИВШЕМУ У НЕГО НАПИСАТЬ ЕМУ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДУШИ**

В письмеце твоём, отец, которое ты написал мне, ты просишь меня написать тебе что-то полезное и известить тебя о себе, — тебе кажется, что я обижен на тебя из-за тех речей, что были сказаны, когда мы с тобою беседовали, когда ты был здесь. И за то прости меня. Я высказывал мнение, имея в виду себя и тебя, как всегда мною любимого, — согласно написанному: «Тайны Мои Моим и сыновьям дома Моего открываю», — что не просто так и не как случится подобает нам осуществлять какие-либо дела, но по божественным

писаниям и по преданию святых отцов, прежде всего — уход из монастыря. Только — не пользы ли это ради душевной, а не ради чего-то иного? Потому что не видно ныне общежителства по законам Божиим, по святым писаниям и по преданию святых отцов, но только — по своим волям и умышлениям человеческим. И во многих из них оказывается, что и самые развратные дела мы творим, и полагаем, что это — осуществление добродетели. Случается же это от нашего неведения святых писаний, потому что мы не стараемся со страхом Божиим и со смирением вопрошать их, но пренебрегаем ими и занимаемся человеческими делами.

Я же потому так говорил с тобой, что ты истинно, а не притворно хочешь слышать слово Божие и осуществлять его. И не льстя тебе, не скрывая трудность тесного и прискорбного пути, предложил я это тебе. С иными же соответственно мере каждого беседую. Ты ведь знаешь мою худость с самого начала, как всегда мною духовно любимый. Из-за этого и ныне пишу я тебе, объявляя о себе, поскольку по Боге любовь твоя понуждает меня к тому и делает меня безумцем, — заставляя писать тебе о себе.

Когда в монастыре мы жили вместе, ты сам видел, что от мирских сплетен я удаляюсь и поступаю, насколько есть силы, по божественным писаниям, хотя и не справляюсь из-за моей лености и небрежности. Затем, по завершении странничества моего придя в монастырь, я построил себе келью вне, поблизости от монастыря и так жил, насколько было силы моей.

Ныне же подальше от монастыря я переселился, так как благодатью Божией нашел место, угодное моему разуму, потому что мирским людям оно труднодоступно, как ты и сам видел.

И больше всего я внимаю в божественные писания: прежде всего — в заповеди Господни и их толкования и апостольские предания, затем — в жития и учения святых отцов, — и им я внимаю. И что согласуется с моим представлением о благоугождении Богу и о пользе для души, переписываю себе и тем поучаюсь, и в том жизнь и дыхание мое имею. А немощь мою, леность и нерадение я возложил на Бога и на Пречистую Богородицу.

И когда случается мне что-то предпринять, если не нахожу того в святых писаниях, то откладываю это на время, пока не найду. Потому что по своей воле и по своему разуму я не смею ничего делать. И если кто-то по любви духовной прилепляется ко мне, советую так же поступать, особенно тебе, потому что с самого начала духовная любовь сделала тебя своим для меня. Оттого и обратил я к тебе слово, советуя во благо, как своей душе: как сам стараюсь делать, так и тебе говорил.

Ныне же, хоть и порознь мы телами, но духовной любовью сопряжены и совокуплены. И по закону этой божественной любви и тогда я беседовал с тобой, и ныне пишу, призывая к спасению души. И тому, что ты слышал от меня и написанным увидел — если это тебе угодно, подражай этому. Желая быть сыном и наследником святых отцов, твори заповеди Господни и предания святых отцов и живущим с тобой братьям то же говори.

И живешь ли ты особо, или в монастыре с братьями пребываешь, внимай святым писаниям и шествуй по стопам святых отцов. Потому что божественные писания нам так повелевают: или повиноваться такому человеку, который будет засвидетельствован в духовном делании словом и разумом, как пишет Василий Великий в слове, у которого начало: «Придите ко Мне все труждающиеся». Если же не найдется таковой, тогда — повиноваться Богу с помощью божественных писаний, а не так без смысла жить, как некоторые. Они и в монастыре с братьями, будто бы в повиновении, в самоволии без

смысла пасутся, и отшельничество также осуществляют неразумно, плотской волей ведомые и не понимая неразмышляющим разумом ни того, что делают, ни того, в чем утверждают. О таковых рассуждая, Иоанн Лествичник в Слове о различии безмолвия говорит: «Самочинно скорее, нежели согласно наставлению, следуя своему мнению, плавать они захотели». Да не будет этого с нами! Ты же, поступая по святым писаниям и по житиям святых отцов, благодатью Христовой не погресишь.

А теперь и я стал скорбеть из-за того, что ты скорбен. Из-за этого-то и заставил себя написать тебе, — чтобы ты не скорбел. Бог же всякой радости и утехи да утешит сердце твое и известит о нашей любви к тебе.

Хоть и грубо я написал, но — ведь не кому-то иному, но тебе, постоянному возлюбленному моему, чтобы не презреть твою просьбу. Надеюсь ведь, что с любовью примешь ты это и не осудишь мое неразумие.

А что касается наших дел, о которых я просил твою святыню, — ты хорошо постарался их устроить, за то челом бью. Бог да воздаст тебе по твоему труду.

Сверх того, и еще молю святыню твою: да не сочтешь обидными те слова, что мы говорили тогда. Хотя внешне они кажутся жесткими, внутри же наполнены пользой. Потому что не свое я говорил, но — из святых писаний. Жестки они поистине для тех, кто не хочет истинно смириться в страхе Господнем и отступить от плотских мудрований, но хочет согласно своим страстным волям жить, а не по святым писаниям. Такие люди не вникают ведь со смирением, духовно в святые писания. Некоторые из них ныне не хотят и слышать о том, чтобы жить по святым писаниям, как бы говоря: не для нас они писаны и не надо людям нынешнего рода их хранить.

Для делателей же истины и в древности, и ныне, и до скончания века слова Господни чисты, как серебро, расплавленное и очищенное семикратно, и заповеди Его светлы и вожделенны для них больше золота и драгоценных камней, и услаждают они их больше меда и сотов, и они их соблюдают. И если они сохраняют их, то воспримут многие воздаяния.

Здравствуй о Господе, господин отец, и молись о нас, грешных, а мы святыне твоей весьма бьем челом.

## **ПОСЛАНИЕ БРАТУ, ПРИШЕДШЕМУ С ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ**

**ТОГО ЖЕ СТАРЦА ПОСЛАНИЕ БРАТУ, <ПРИШЕДШЕМУ> С ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ, ПРОСИВШЕМУ У НЕГО НАПИСАТЬ ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ДУШИ**

Так, господин, нам кажется полезно тебе руководствоваться: в телесных занятиях правилом по силе, а не выше меры, а в писаниях божественных поучаться, и какой-то ручной работе обучаться, и безмолвие любить. А когда, если Бог захочет, друг друга увидим, тогда пространнее будет беседа обо всем, про все.

## **ЗАВЕЩАНИЕ**

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Завещаю о себе моим вечным господам и братьям, людям моего нрава: молю вас, бросьте тело мое в этой глуши, чтобы съели его звери и

птицы, потому что грешило оно перед Богом много и недостойно погребения. Если же этого не сделаете, тогда, выкопав яму глубокую на месте, на котором живем, со всяким бесчестием погребите меня. Бойтесь же слова, которое Арсений Великий завещал своим ученикам, говоря: на суде стану с вами, если кому-нибудь отдадите тело мое. Я стараюсь, насколько в моих силах, не быть сподобленным чести и славы века сего никакой — как в жизни этой, так и по смерти. Молю же всех, да помолятся о душе моей грешной, и прощения прошу у всех, и от меня прощение: Бог да простит всех.

Крест большой, в котором камень страстей Господних, а также книжки, которые я сам писал, то — господам моим и братьям, кто начнет терпеть на этом месте. И чтобы постарались по мне службу священную совершать в течение сорока дней, — об этом очень прошу. Маленькие книжицы, Иоанн Дамаскин, Потребник, и Ирмологий здесь также, Псалтирь в четверть, Игнатьева письма — в Кириллов монастырь. И прочие книги и вещи Кириллова монастыря, что мне давали по любви Божией, — чье что есть, тому и отдать; или нищим, или монастыря какого-нибудь, или откуда-то христоролюбца какого-то лицевую книгу — тем и отдать.

## СЛОВО ОБ ОСУЖДЕНИИ ЕРЕТИКОВ ИОСИФА ВОЛОЦКОГО<sup>41</sup>

### **О произведении:**

*«Слово об осуждении еретиков» было написано уже после составления краткой редакции основного противоеретического сочинения Иосифа Волоцкого — «Просветителя» и после расправы его над еретиками в 1504 г. «Слово об осуждении еретиков», написанное, по всей видимости, самим Иосифом Волоцким, было затем включено во вторую пространную редакцию «Просветителя», составленную в 1510—1511 гг., в качестве тринадцатого «слова».*

*Один из самых ярких памятников религиозной нетерпимости господствующей церкви начала XVI в. «Слово об осуждении еретиков» был, очевидно, ответом на довольно широко распространенное в русском обществе того времени отрицательное отношение к массовым казням еретиков. До XVI в. казни еретиков на Руси были довольно редким явлением; до этого времени не существовало и достаточно разработанной системы инквизиционных процессов (недаром предшественнику Иосифа — Геннадию Новгородскому — приходилось в этом вопросе сослаться на опыт «шпанского» (испанского) короля). Сам Иосиф Волоцкий писал в шестнадцатом «слове» «Просветителя», что после того как еретиков осудили «на смерть, то христиане православнии скорбятъ и тужатъ, и помощи руку подавають, и глаголють, яко подобает сих сподобити милости». В полемику эту включился и виднейший публицист нестяжательского направления — Вассиан Патрикеев, разобравший в своем «Ответе кирилловских старцев» (см. наст. т.) многие из примеров религиозной нетерпимости, на которые ссылался в «Слове» Иосиф Волоцкий.*

*При включении в пространную редакцию «Просветителя» в «Слово» был вставлен ряд дополнительных примеров наказания еретиков и иноверцев из Библии и церковной практики.*

*«Слово об осуждении еретиков» публикуется по списку: РНБ, Ф. I. 229, лл. 259—280, для исправлений привлекается список РГБ, ф. 247 (Рогожское собр.), № 530.*

*В списке Ф. I. 229 «Слово об осуждении еретиков» помечено как «Слово 10» — это связано с тем, что ему предшествует особая редакция «Просветителя», состоящая из девяти «слов» (точнее, из десяти «слов», но десятое и девятое «слова» слиты воедино). В списке РГБ, ф. 247, № 530, пометы «Слово 10» нет; мы опускаем ее при публикации.*

---

<sup>41</sup> Подготовка текста и комментарии Я. С. Лурье, перевод А. А. Алексеева

СЛОВО ПРОТИВ ЕРЕСИ НОВГОРОДСКИХ ЕРЕТИКОВ, УТВЕРЖДАЮЩИХ, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ОСУЖДАТЬ НИ ЕРЕТИКА, НИ ВЕРООТСТУПНИКА. ЗДЕСЬ ЖЕ ДАНО РАССУЖДЕНИЕ ПО БОЖЕСТВЕННОМУ ПИСАНИЮ О ТОМ, ЧТО ЕРЕТИКА И ВЕРООТСТУПНИКА НЕ ТОЛЬКО ОСУЖДАТЬ, НО И ПРОКЛИНАТЬ СЛЕДУЕТ, А ЦАРЯМ, КНЯЗЬЯМ И СУДЬЯМ СЛЕДУЕТ ОТПРАВЛЯТЬ ИХ В ЗАТОЧЕНИЕ И ПОДВЕРГАТЬ ЖЕСТОКИМ КАЗНЯМ

Поскольку теперь новоявленные новгородские еретики — протопоп Алексей, поп Денис, Федор Курицын и многие другие, рассуждающие подобным образом, — сотворили много зла, которого ни высказать устами, ни описать словом, ни объять умом, такую хулу изрекли они на святую животворную Троицу, на Пречистую Богородицу, на великого Иоанна Предтечу и на все святыни и столько осквернений нанесли они святым Божиим церквам, честному и животворящему кресту, всечестным иконам, — и, сотворив столько такого зла, устрашились они ревности православных о благочестии, чтобы, увидев такое зло, не осудили те их на соборе в согласии с божественными установлениями на окончательную гибель в этой жизни и в будущей, — поэтому-то и приложили они все силы к тому, чтобы ввести в заблуждение православных, и в намерении запугать истинно верующих изрекали такие речи, что, дескать, не нужно осуждать ни вероотступника, ни еретика, ссылаясь в качестве свидетельства на слово Господа, который сказал: «Не осуждайте, чтобы и вас не осуждали», и святого Иоанна Златоуста, который говорит, что никого не нужно ни ненавидеть, ни осуждать — ни неверного, ни еретика, и не нужно также еретика убивать, но если необходимо судить еретика или вероотступника, то пусть его судят по царским и гражданским законам, и не монахи, да и не миряне, если не имеют они отношения к суду.

Кто хочет точно уяснить себе слова Господа: «Не осуждайте, чтобы и вас не осуждали», путь прочтет свидетельства божественных сочинений, что об этом написали святые, преподобные и богоносные отцы наши — святой Иоанн Златоуст, Василий Великий, божественный Афанасий Великий и многие другие святые отцы наши. А достойнейший и превосходный преподобный отец наш Никон из этих сочинений сделал выборки и изложил в своей большой книге, в тридцать девятом слове.

Мы же теперь побеседуем о том, что говорит божественный Иоанн Златоуст. Говорит он, что нельзя творить зло или ненавидеть какого бы то ни было человека, хоть нечестивого, хоть еретика. Этот великий и равный апостолам муж говорит и указывает, что эти повеления связаны со временем. Не было Божьей воли, чтобы так было всегда, как свидетельствует сам великий Иоанн Златоуст, говоря, что нельзя творить зло или ненавидеть какого бы то ни было человека, хоть нечестивого, хоть еретика, пока не приносит он вреда нашей душе. Ведь так поступают и пастухи: до тех пор, пока дикие звери не доставляют им забот, расположившись под дубом или под кедром, играют они на дудке, позволяя всякой овце пастись на воле. Но как только заметят они, что приближается волк, тотчас, отбросив дудку, хватают пращу и, забыв о свирели, вооружаются дрекольем и камнями, — встав впереди стада и издавая угрожающие крики, зачастую еще до нападения отгоняют они зверей. Точно так и нам, пастырям и учителям, пасущим Христово стадо, следует поступать. Ведь если увидят они неверного или еретика, никакого вреда не приносящего душам верных, то, вбирая мудрость на лугах книжных сказаний, с миром и кротостью пусть поучают неверных и еретиков. Но если увидят они проклятых еретиков, более коварных, чем все волки, стремящихся погубить Христово стадо и растлить его еретическим иудейским вероучением, следует им тогда высказать ревность и старание, чтобы ни одна овца стада Христова не была похищена дикими зверьми. Вот так говорит об этом священный Иоанн Златоуст. Когда не обольщают никого из православных

неверные и еретики, не следует тогда творить им зло или их ненавидеть, но когда мы видим, что неверные и еретики хотят обольстить православных, тогда следует не только ненавидеть их или осуждать, но и предавать проклятью, наносить им раны и тем освящать свои руки.

Как тот же святой Иоанн Златоуст сам указывает, так говоря: «Раз была у нас речь о хуле, что на единородного Сына Божия, хочу я просить у вас одного только подарка, чтобы наказывали вы всех в городе хулителей. Если услышишь, что кто-нибудь на перекрестке или на площади среди людей хулит Христа-господа, подойди и пресеки. Если и насилие над ним совершить придется, не избегай — ударь по лицу, дай пощечину, освяти свою руку раною. Если и схватят тебя, если и в суд поведут, — иди. Если спросят на суде, то есть допрашивать будет судья, отвечай не робея, что хулил тот ангельского царя: ведь если наказывать нужно тех, кто хулит земного царя, то тем более тех, кто хулит царя небесного. Общий грех всех, если нет правды. Каждый, кто может, должен высказаться за нее, чтобы знали иудеи и скверные еретики, что христиане спасители и создатели города, защитники и учителя. Пусть убедятся необузданные и развращенные иудеи и еретики, что божьих рабов остерегаться им нужно, и когда захотят они поделиться между собою чем-нибудь подобным, пусть повсюду следят друг за другом, трепещут и тени, опасаясь, чтобы не слышали христиане. Разве не знаете вы, как поступил Иоанн? Увидел он, что тиран, мучитель людей, пренебрег брачными законами, и сказал на площади без страха: “Нельзя жениться тебе на жене Филиппа, твоего брата”. А я ведь не о людях держу речь, не о судьях, не о противозаконных браках, но об оскорблении Господу. Хоть и придется умереть, не уклонись, чтобы наставить брата твоего: ведь мучение это будет за Христа. Так и Иоанн стал мучеником, хоть не принуждали его приносить жертвы или поклоняться идолам, но увидел он, что попираются божественные законы, и за это душу свою положил».

И далее он говорит: «Не раз говорил я вам, возлюбленные мои, про безбожных еретиков и снова умоляю, чтобы не объединялись вы с ними ни за едой, ни за питьем, ни дружбой, ни любовью: кто это делает, чужим делается Христовой Церкви. Если кто и ангельской жизнью живет, но с еретиками связан любовью и дружбой, — чужд таковой господу Христу. Если не находим мы удовольствия в том, чтобы любить господу Христа, так не найдем удовольствия в том, чтобы ненавидеть врагов его. Но ведь он сам говорит: “Кто не со мною, тот против меня”». Вот что говорит и на чем настаивает священный Иоанн Златоуст, подвигнутый святыми апостолами.

Ведь и святые апостолы так поступали. В «Деяниях святых апостолов» описывается, что, когда пришли в Самарию святые апостолы Петр и Иоанн, Симон-волхв принес им серебро и сказал: «Дайте мне эту способность, чтобы, на кого возложил я руку, — тот принял святого Духа»; и святые апостолы не осудили его тогда на смерть. Но когда дошел он до полного бесчестия и стал развращать благочестивых, и обольщать верующих, тогда осуждают его на смерть.

Точно так поступил и святой Иоанн Богослов. До тех пор пока Куноп жил у себя на месте и не обольщал никого из верных, он не был осужден. Но когда прибыл он в город, намереваясь развратить верующих, был осужден на смерть.

Точно так и святой апостол Филипп: не пошел он к первосвященнику, не осудил его; но когда увидел, что первосвященник пришел только затем, чтобы развратить благочестивых, тогда на смерть осудил его.

Подобным же образом поступил апостол Павел: не стал разыскивать волхва Елиму, осуждать или уничтожать. Но когда увидел, что тот отвращает проконсула от веры, тогда осудил его на то, чтобы тот ослеп и не видел солнца.

Подобным же образом поступали святые и преподобные богоносные отцы наши, архиереи и пастыри.

Когда святой Иоанн Златоуст увидел, что ариане живут в Константинополе и никому из православных не чинят пакостей, он и сам не сделал им зла. Но когда увидел он, что занимаются они обольщением и составили ряд песнопений и гимнов, чтобы расшатать веру в единосущность, упрямил цесаря, чтобы тот изгнал их из города.

Точно так и святой Порфирий, епископ газский, видя, что еретики манихейского толка живут в Газе и не обольщают никого из православных, не осуждал их. Но когда увидел, что пришли они туда затем, чтобы обольстить христиан, осудил он их вначале на немоту, потом и на смерть.

Так и святой Лев, епископ катанский, не осудил вначале Лиодора-еретика на смерть. Но когда увидел, что пришел тот к храму и рассеивает соблазны, чтобы обольстить тех, кто верен благочестию, вышел он из храма и сделал так, что пожжен Лиодор был огнем, потом вернулся он в храм и отслужил божественную службу.

Так же и святой Феодор, эдесский епископ, когда нашел множество еретиков в Эдессе, не делающих особенного вреда православным, тогда и он не сделал им никакого зла. Но когда увидел, что собрались они на такое зло, чтобы обольстить православных и разграбить церковное имущество, тогда отправился он даже в Вавилон и упрямил царя, чтобы тот истребил еретиков.

И много еще такого в божественных сочинениях, что когда еретики, держащиеся каких-либо ересей, не приносят православным вреда, тогда не судят их святые и преподобные отцы наши. Когда же видят они, что неверные и еретики намерены обольщать православных, то осуждают их. Так же должны и мы поступать. Но довольно об этом.

Теперь же поговорим о том, что тот же великий церковный учитель Иоанн Златоуст говорит, что нельзя убивать еретиков: «Если бы мы убивали еретиков, нескончаемая война была бы во всем мире». Это о епископах, священниках и монахах, о всем церковном причте говорит он, а не о царях, или князьях, или же правителях областей. Если бы говорил он о царях, князьях и о правителях, сказал бы, что нельзя царям, князьям и правителям убивать еретиков. Но он ведь говорит: «Если бы мы убивали еретиков», что ясно показывает, что говорит он о епископах, священниках, монахах и о церковном причте, — ведь сам он был вначале церковный причетник и монах, потом священник и, наконец, епископ. Потому-то, приняв на себя облик их всех, он и говорит: «Если бы мы убивали еретиков, нескончаемая война была бы», — и не о царях, князьях или правителях областей говорит это.

О царях же, князьях и судьях говорят святые апостолы, что приняли они власть от Господа Бога для наказания преступников и поощрения добродетельных. Так, верховный апостол Петр говорит: «Ради Господа будьте покорны всякому человеческому учреждению, то есть человеческой власти: царю ли, как верховной власти, князьям ли, как назначенным от него, чтобы наказывать преступников и поощрять добродетельных. Ибо такова есть Божья воля, чтобы добродетельные обуздывали невежество неразумных людей». Согласно с ним говорит и Павел: «Князья ведь страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не

бояться власти? Делай добро и заслужишь похвалу от нее: ибо слуга Бога и тебе во благо. Но бойся, если творишь зло, — не напрасно носит он меч, ибо служитель Бога — гневный отмститель творящему зло».

В согласии с этим говорят и святые отцы. Вот что сказал священный Иоанн Златоуст: «Ведь поставлена гражданская власть на пользу людям Богом, не дьяволом, как утверждают некоторые недостойные, боясь чтобы не поглотили люди друг друга, как рыбы». Поэтому и говорит святой апостол Петр, что «такова есть Божья воля, чтобы добродетельные обуздывали невежество неразумных людей». Святой Григорий, епископ акраганский, то же говорит в своем законодательном наставлении: «Человеколюбиво дан людям свыше великий Божий дар — священство и царство: одно служит божескому, другое, владея, заботится о человеческом. Тот, кто принял по высшему повелению управление родом человеческим, должен не только заботиться о собственных делах и распоряжаться собственной жизнью, но и все, находящееся в его власти, защитить от тревожений и греховнейшего возмущения, которым лукавый дух затопляет нас повсюду и возмущает смирение тела».

Если же кто-нибудь скажет, что святые апостолы и преподобные отцы велели, чтобы цари, князья и владыки отмщали злодеям, — то есть убийцам, прелюбодеем, — воровство, разбой и другие преступления совершающим, но не еретикам и вероотступникам, — то ведь если велено это в отношении убийц, прелюбодеев и совершающих другие преступления, гораздо нужней, чтоб было так с еретиками и вероотступниками, как свидетельствуют об этом божественные тексты. Так, в тех божественных правилах, которые являются гражданскими законами, говорится о неверных и еретиках вот что: «Кто удостоился святого крещения и отступил от православной веры, стал еретиком или приносил языческие жертвы, тот подлежит смертной казни. Если иудей осмелится растлить христианскую веру, то подлежит смертной казни. Манихеи или иные еретики, бывшие христианами и ставшие затем на путь ересей и толков, будут казнены мечом, — кто знает таких и не доносит о них властям, подлежит смертной казни. Если какой военачальник, или воин, или начальник общины, обязанный заботиться об этом, узнает, что кто-либо уклоняется в ереси и толки, и не выдаст такого, примет смертную казнь, хоть и сам будет правоверный».

Где они, говорящие, что нельзя осуждать ни еретика, ни вероотступника? Ведь очевидно, что следует не только осуждать, но предавать жестоким казням, и не только еретиков и вероотступников: знающие про еретиков и вероотступников и не донесшие судьям, хоть и сами правоверны окажутся, смертную казнь примут.

А если кто скажет: «Это гражданские законы, а не апостольские и не писания отцов», пусть послушает он, что преподобный отец наш Никон говорит о гражданских законах в своих боговдохновенных сочинениях: «Потому что поклоняемый Дух Святой наполнил божественных отцов на святых соборах, расположили они божественные правила, которые от Духа Святого, изложили божественные законы и слова святых и богоносных отцов, — а святые заповеди сказаны были устами самого Господа, — так что уже в древности божественные правила перемешались с гражданскими законами и положениями». Так была создана книга «Номоканон», то есть правило законов. Весьма сильно перемешались по Божьему промыслу божественные правила с заповедями Господними и изложенными святыми отцами, а также с самими гражданскими законами, — так возникла вышеназванная книга.

Если святые отцы, бывшие на вселенских и поместных соборах и наставляемые святым и животворящим Духом, расположили божественные правила, и законы, и слова святых

отцов, и святые заповеди, которые от уст самого Господа, то сами же святые отцы соединили в древности со всем этим и гражданские законы. И кто осмелится их устранить или похулить, когда приняты они были Святым Духом и святыми отцами и соединены со всем божественным Писанием?

В согласии с этим говорит и Афанасий Великий, что те, кто утверждает, что нельзя осуждать совершающих смертные грехи, — еретики. И когда бы было так, как они утверждают, не осудил бы праведный Ной ругателя Хама быть рабом братьям его. И Моисей велел изрубить мечами три тысячи человек, поклонявшихся тельцу, а собиравшего в субботу дрова велел побить камнями. А Иисус Навин за воровство истребил Ахара со всем его домом. А Финеес за распутство уничтожил Замврия, а Самуил перед Господом убил царя Агага, Илья же ложных пророков у ручья заколол, как свиней, Елисей же осудил Гиезия за мздоимство, проказой наказал его. А Даниил, осудив блудливых старцев по Моисееву закону, убил их. Принявший ключи царства небесного, святой апостол Петр осудил Анания и жену его, утаивших часть своего дохода, и сделал так, что они испустили дух. А Павел предал дьяволу кузнеца Александра и Именея с Филитом, чтобы они отучились от хулений. И все эти судившие, а сами не осужденные, были праведны, более того, — избранники, избранные на духовное служение.

Вот что говорит и как поучает Афанасий Великий о совершающих смертные грехи: «Грех, который тяжелее и страшнее всех грехов смертных, — это впасть в ересь и отворотиться от Христа», — так вот говорит этот божественный Афанасий. Да и великий Иоанн Златоуст в своих сочинениях говорит: «Царский суд и гражданские законы обуздывают произвол неразумных людей, творящих смертные грехи и губящих душу и тело». Это же говорят и священные правила святых отцов: «Услышьте, цари и князья, и помните, что власть вам дал Бог, что вы — слуги Бога. Для того приставил он вас пастырями и сторожами к вашим народам, чтобы от волков сохранили вы в целостности стадо его. На свое место избрал вас Бог на земле, на свой престол, возведя, посадил, милость и жизнь доверил вам, и вручила вам меч высокая десница Бога. Вы же не скрывайте в неправде истину, но остерегитесь серпа небесного, не давайте волю преступным людям, не натравливайте их, как бешеных собак, на людей правоверных. Или вот еще: если дать меч неистовому человеку, тот не только тела, но и души погубит». «Почему? — говорит он, — что не только тела погубит?» Это говорится не об убийцах и тех, кто творит обиды и разбои, которые только тела губят, но когда говорится: «Те не только тело, но и душу губят», — то говорится это о еретиках и вероотступниках: ведь они вместе с телом губят и душу, обольщая православных еретическими учениями.

И вот что: если они совершают зло, грех падет на душу того, кто допускает это, то есть на царя, на князя, на правителя области. Если недостойным людям дадут они власть, спросит с них за это Господь Бог в страшный день второго пришествия Христа. Вот почему цари и властители должны заботиться о том, чтобы быть отмстителями еретикам за Христа. Согласно с этим наставляет и учит священный Иоанн Златоуст, говоря следующее: «То, что бывает по воле Бога, хоть и покажется злым, добрее всего. А то, что против воли Бога и не угодно ему, хоть и хорошим покажется, всего хуже и преступней. Если убьет кто по воле Бога, убийство это лучше всякого человеколюбия. Если и помилует кто из человеколюбия вопреки тому, что угодно Богу, — недостойнее всякого убийства будет это помилование. Не природа вещей, но Божий суд делает их добрыми или дурными».

Выслушай примеры и сообрази, что так именно и бывает. Против Божьей воли помиловал некогда Саул, царь Израиля, Агага, царя амаликитян, и за это помилование не только сам подвергся осуждению Бога, но и весь род его. Так и Ахав, захватив Адера, ассирийского царя, сохранил его вопреки тому, что было угодно Богу, отпустил его с великим почетом;

тогда Бог послал пророка к Ахаву, говоря: «Так говорит Господь: раз выпустил ты этого губителя из рук своих, душа твоя будет за его душу и люди твои за его людей».

Точно так один пророк пришел и сказал ближнему своему: «По слову Господа ударь меня». А тот человек не захотел ударить его, и сказал он: «Не подчинился ты голосу Господа, за это, лишь расстанемся мы, растерзает тебя лев». Отошел тот, напал на него лев и растерзал его. И встречает пророк другого человека и говорит: «Ударь меня». Ударил его тот человек и разбил ему лицо. Ударивший пророка спасся, а пожалевший — пострадал; что удивительней этого? Так знай же, что, когда велит Бог, нужно только повиноваться, а не размышлять о природе происходящего.

Вот так и все святые и преподобные богоносные отцы наши, пастыри и учителя молили благочестивых царей и князей, чтобы истребляли еретиков, как свидетельствуют святые отцы святого Шестого вселенского собора, когда говорили они благочестивому цесарю Юстиниану: «А ты, царь, позаботься о том, чтобы, если в зрелую пшеницу попадут какие остатки языческого и иудейского еретического зла, искоренить их как сорняки. Да будут они исторгнуты и очистится нива церкви горячей любовью к Богу царей и властителей, превзошедших ревнителя Финееса, поразившего копьем грехи». А собравшиеся в Иерусалиме святые отцы в числе тысячи четырехсот человек, написав для византийского цесаря Феодила многосложный свиток, сказали: «Снизойди, о царь, к смиренной молитве, будь щедр к Церкви своей, прекрати церковные раздоры и прежде всего уйми зловерных отступников своей праведной царской властью, мышцею благочестия своего».

Так, уже православный праведный Константин Великий, первоисточник христианства и апостол среди царей, окончательно низверг этого мрачного и враждебного богу Ария, второго Иуду, соименного гневу, и осудил его с проклятым его учением на заключение, а также и всех других, принадлежавших к этому толку. А вслед за ним — Феодосии Великий, звезда пресветлая, царственный преемник, по распоряжению которого собрался Второй божественный собор святых отцов и проклял духоборца Македония, Евномия, ариан и прочих, и осудил их на позорное заточение. А наследник его по имени и уму, Феодосии Малый, созвав в Ефесе святой собор, низложил Нестория. И Маркиан, великий по благочестию, созвал Четвертый собор, велел проклясть Евтихия и Диоскора-пустослова и осудил их на заключение. А великий цесарь Юстиниан созвал Пятый собор против Дидима и Евагрия, принадлежавших к толку Оригена, и после проклятия осудил их на заключение. Потом Константин, внук Ираклия, созвал Шестой собор святых отцов против Маркиона, Стефана, Сергия, Павла, Пира и других злонамеренных, — еретики тогда полностью были разбиты и приняли осуждение, достойное их извращенной веры. Потом опять благочестивая царица Ирина и сын ее, благоверный цесарь Константин, созвали Седьмой собор против недостойных иконоборцев, низвергли и полностью искоренили всю их ересь. Так вот все благоверные цесари, полностью разрушив осадными орудиями крепость безверных еретиков, отрубив святыми вселенскими соборами головы многоголовых устрашающих драконов, укрепили чистую и православную веру, непоколебимый столп и утверждение благоверия. А благочестивые цари, зная это и повинувшись мольбам и поучениям святых отцов, распоряжались проклинать еретиков и вероотступников, отправлять в заключение и подвергать суровым наказаниям, к тому же были они научены Ветхим и Новым божественным Писанием.

Ведь так поступали и пророки, и праведники, и благочестивые цари в Ветхом Завете: если видели они, что кто-нибудь отступил от Господа Бога-Вседержителя, то либо мечом убивали его, либо молитвой низвергали. Так, великий Моисей велел посесть мечом отступников от Бога-Вседержителя, поклонявшихся золотому тельцу. Величайший из пророков, Илия, сделал так, что небесный огонь спалил двух пятидесятников,

отступивших от Господа Бога, а четыреста человек он собственноручно изрубил мечом. Когда увидел Иуда Маккавей, что отступились люди от Господа Бога и поклоняются идолам, всех велел мечами изрубить. А благочестивый царь Иосия столь ревностно защищал благочестие, что не только перебил тех, кто соблазнял людей отступать от Господа Бога, но выкопал кости мертвецов, сжег их на огне, а пепел развеял по ветру.

А в Новом Завете святой апостол Петр силою молитвы предал смерти Симона-волхва, основателя ереси. Подобным же образом святой Иоанн Богослов молитвою утопил в море Кунопа-волхва. Точно так и святой апостол Филипп велел земле поглотить первосвященника, хулившего Господа нашего Иисуса Христа. А святой апостол Павел ослепил словом Елиму-волхва, а Именея, Филита и кузнеца Александра предал сатане.

И далее, этот же святой апостол Павел говорит: «Если кто отступит от Моисеева закона, будет осужден на смерть без пощады по показанию двух или трех свидетелей. Насколько, надо думать, мучительней будет наказание тому, кто пренебрежет Сыном Божиим». Это показывает, что теперь в особенности сурово нужно наказывать того, кто хулит Сына Божия. Святой апостол Иуда, брат Иакова, говорит ведь: «Одних по рассмотрению милуйте, других спасайте страхом».

Следуя этим божественным пророческим и апостольским текстам и преданию, благочестивые и православные цари и иерархи отправляли в заключение и подвергали жестоким казням вероотступников и еретиков. Впервые великий цесарь, равный апостолам, Константин установил в своем государстве закон, чтобы предавать насильственной смерти того, кто не верит в Святую и Животворящую Троицу, а собственность его отдавать на разграбление. И святые отцы на Первом соборе не воспрепятствовали, чтобы так было. А святой Александр, константинопольский патриарх, добился своей молитвой, что Арий рассыпался. А великий чудотворец Епифаний Кипрский словом заставил еретика Аэция онеметь, а на седьмой день предал его смерти. И благочестивый царь Маркиан на смерть осудил еретика Диоскора, александрийского патриарха, но не мечом его убил, а сослал на остров Ас, где никто не может прожить и года, но мучительно умирает от губительных ветров. Там и Диоскор со всеми, разделявшими его заблуждение, в муках испустил дух. И святые отцы на Четвертом соборе не препятствовали тому, чтобы это случилось. Благочестивые цесари Юстин и Тиверий отрубили головы наместнику Адду и военачальнику Елевферию, защитникам ереси, и великий чудотворец Евтихий, константинопольский патриарх, не препятствовал им. Великий цесарь Ираклий велел убивать иудеев, не желавших креститься, и многие бывшие тогда патриархи, архиереи и преподобные не препятствовали ему это сделать. А святой Порфирий, епископ Газы, молитвою сделал немыми и безмолвными сторонников манихейской лжи, а потом и смерти их предал. А святой Феодор, эдесский епископ, словом лишил дара речи иудея, хулившего Господа нашего Иисуса Христа, а затем обратился с просьбой к вавилонскому царю, и тот, послав в Эдессу войско, велел изгнать из города еретиков, имущество их захватить, а некоторым из них вырвать языки. Святой же Федор не препятствовал, чтобы так было. Так и святая царица Феодора с сыном своим Михаилом отправила в заточение еретика Анния, константинопольского патриарха, и там велела, привязав, бить его ремнями. И блаженный патриарх Мефодий и многие преподобные отцы наши и исповедники не препятствовали тому, чтобы так было. А святой Лев, епископ катанский, сделал так, что еретик Илиодор сторел в огне.

Смотри же, как святые пророки и праведники Ветхого Завета отступников от Господа Бога одних молитвой и полученной от Бога благодатью предавали смерти, других оружием убивали и подвергали суровым наказаниям. Но святые апостолы, божественные святители и преподобные и богоносные отцы Нового Завета оружием еретиков и вероотступников не

убивали, а молитвами и силой, данной им всемогущим и животворящим Духом, жестоким наказаниям и смерти предавали.

Если же кто скажет, что молитвою предать смерти — это одно, а оружием убивать заслуживших смерть — это другое, тому будет так сказано: это одно и то же, что молитвой смерти предать, что оружием убить виновного. Именно так пишет Афанасий Великий в «Слове о совершающих смертные грехи». Вначале он напоминает о ветхозаветных пророках и праведниках, убивавших оружием или предававших казням виновных, потом называет святых и верховных апостолов Петра и Павла. Ведь Петр словом и силою, которую дал им Святой Дух, предал смерти Анания и Сапфиру, а Павел словом предал смерти Елиму-волхва, кузнеца Александра, Именея и Филита. Видишь, что Афанасий Великий не делает никакого различия между убийством оружием и преданием виновных казни или смерти с помощью молитвы. А если бы не следовало еретиков и отступников предавать казням и смерти, не предавали бы святые апостолы, божественные святители и преподобные наши отцы смерти молитвою и силою, данную им от Бога: гораздо тяжелее смерть от молитвы, чем от оружия. Ведь если смерть по молитве, становится с очевидностью ясно, что Бог осудил на смерть виновного — страшно попасть в руки Бога живого. А та смерть, что от оружия, случается нередко по замыслам людей, и тем, кто понимает, смерть от оружия не так страшна, как от молитвы: человек-то смотрит на лица, Бог же видит сердца. Вот почему преподобные и богоносные отцы наши, священноначальники и пастыри еретиков и вероотступников предавали жестоким наказаниям и смерти не оружием, но молитвой и силой, которую дал им Бог. Если же какого еретика или вероотступника следовало предать наказанию или смерти, они не делали этого сами, но имели для этого благочестивых и православных царей, чтобы отмщать преступникам — в согласии с апостольскими писаниями, свидетельствами священных правил и гражданских законов, которые преподобные и богоносные отцы наши соединили и увязали со священными правилами. Но довольно об этом.

Теперь скажем и о том, что говорят еретики, — что если и следует, дескать, судить и осуждать еретиков и вероотступников, то лишь царям, князьям, иерархам и правителям областей, а не монахам, которые отреклись от мира и всего, что в мире, а им следует только собой заниматься и не судить никого — ни еретика, ни вероотступника. Но вот что сказано будет такому: если не должны монахи осуждать ни еретика, ни вероотступника, то как Антоний Великий осуждал их? Говорил он о еретиках, что слова их страшнее змеиного яда, поучая всегда учеников своих, чтобы ни в какое общение ни с мелетянами, ни с арианами, ни с другими еретиками не вступали. А на Первом соборе среди святых отцов оказался святой Пафнутий-исповедник, и он осудил Ария на заключение. Всегда осуждал еретиков святой Пахомий, говоря, что тот, кто общается с еретиками и читает сочинения Оригена, Мелетия, Ария и других еретиков, в бездну ада сходит. Так и Макарий Великий: для того он вышел из пустыни, чтобы осудить еретика и пресечь его ересь, что и исполнил. А когда услышал святой Ефрем о распространении еретического лжеучения Аполлинария, — оставляет он по этой причине пустыню, входит в Константинополь, где не только осуждает Аполлинария, но хитроумным своим искусством предает его мучительной смерти. От самого младенчества жил в пустыне чудный Исаак Далматский, но когда слышит он, что Валент распространяет арианскую ересь, приходит в Византию и не только осуждает Валента, но и предает его огню. Так и великий Евфимий: хоть сам не был на Третьем соборе, но послал на собор учеников своих и велел им осудить и проклясть еретиков. Хоть не мог святой Авксентий из-за глубокой старости и великих своих трудов пойти на собор святых отцов, когда собрались они против ереси Нестория, но велел он запрячь упряжку волов и повезти себя на собор, чтобы проклясть и осудить еретиков. Святой Даниил-столпник точно так же из-за великой немощи не мог передвигать ног, так что просил людей, чтобы привели его на собор святых отцов, чтобы осудить и

проклясть еретиков. Поступил так и Савва Освященный: когда увидел он, что распространяется ересь Севира, из Иерусалима приходит к цесарю Анастасию в Константинополь и умоляет его осудить и проклясть еретиков. Когда великий Феодосии узнает, что по всему миру распространяется ересь Севира, оставляет монастырь, уходит из пустыни, обходит города и веси, чтобы укрепить верных, еретиков же осудить и посрамить. Собрав потом всех монахов, приходит он вместе с Саввой Освященным в Иерусалим, входят они в церковь в сопровождении множества своих учеников-монахов, числом около десяти тысяч: поднимаются тут на амвон великий Феодосии и Савва Освященный, осуждают и предают проклятью Севира и всех, кто следует его лжеучению. На Шестой собор вместо александрийского патриарха также прибыл монах Петр, и вместе со всеми осудил еретиков. Когда святая мученица, дева Феодосия, рожденная по предсказанию мученицы Анастасии, постриженная в монахини семи лет и после того безвыходно находившаяся в монастыре, — когда услышала она, что цесарь Лев, что из Исаврии, послал своего оруженосца сбросить и уничтожить образ Христа-господа, бывший на иконе на медных городских воротах, поспешила святая Феодосия на место и как увидела, что трижды ударил оруженосец секирой по образу Христа-спасителя, тут же опрокинула на землю лестницу и так предала оруженосца мучительной смерти. Потом, придя к патриаршим покоям, закидала она камнями Анастасия, патриарха-иконоборца, и тут на месте по приказу недостойного цесаря убили ее за образ Господа нашего Иисуса Христа. И пусть никто не вздумает сказать, что Христова мученица Феодосия не по божьему повелению совершила этот поступок, собственноручно предав человека смерти, — именно за это предобрый владыка Христос прославил ее по смерти многими чудесами и грозными знаменьями, а тело сохранил в целости нетленным, так что все, приходящие к ее гробу, получают исцеление от различных болезней. А святые и божественные отцы почтили ее в гимнах, хвалах, канонах и тропарях и постановили праздновать ее память 29-го мая наравне с прославленными мучениками и мученицами Христовыми. И к святой царице Феодоре и благочестивому цесарю Михаилу собрались святые великие постники и чудотворцы: великий Аникий, Арсакий, Исаакий, Феофан-исповедник и многие другие, покинувшие монастыри и пустыни и пришедшие в город, чтобы проклясть и осудить еретиков. Да и на все вселенские и поместные соборы приходили монахи, забывая свои монастыри и пустыни и поспешая в города.

Таким образом, князья и военачальники, частные лица — мужчины и женщины — и каждый православный, осуждая вместе с архиереями и священниками еретиков, составили божественные правила, наставляемые живым и животворящим Духом. К тому же и гражданские законы прибавили они к божественным правилам, по которым еретиков не только осуждают, но подвергают проклятиям и жестоким казням.

### **О произведении:**

*В сочинениях Максима Грека впервые в русской литературе появляется тема предопределения, неминуемого рока. Фатализм, а это не то же, что вера в божественное провидение, несовместим с христианством — это хорошо понимал Максим Грек. Но в особой запальчивости, с которой писатель ополчается на людей, верящих в предопределение, в фатум, слышатся ноты личной обиды и горечи. Это не удивительно: что иное, как неминуемый рок, привело ученика итальянских гуманистов в застенки Иосифо-Волоколамского монастыря?*

*Удивительна жизнь Максима Грека, начальный период которой благодаря исследованиям И. Денисова мы знаем теперь неплохо. Максим Грек, в миру Михаил Триволис, родился в греческом городе Арте около 1470 г. В 1492 г., подобно многим своим соотечественникам, Михаил отправляется для завершения образования в Италию — во Флоренцию. Здесь он познакомился с гуманистами Анджело Полициано, Марсилио Фичино и другими знаменитостями, которыми была богата Италия эпохи Возрождения. Побывал он также в Болонье, Падуе, Милане; в Венеции Михаил, по его словам, «часто хаживал книжным делом» к известному издателю Альду Мануцию. В 1498 г. он обосновывается в Мирандоле у Джанфранческо Мирандола, племянника знаменитого гуманиста Джованни Пико делла Мирандола. Но из всех впечатлений, вынесенных из Италии, наиболее сильными оказались впечатления от проповедей Иеронима Савонаролы; влиянием идей Савонаролы объясняется решение Михаила постричься в доминиканском монастыре Сан Марко, который еще был полон воспоминаниями о великом флорентийском реформаторе. В Сан Марко Михаил пробыл недолго — с 1502 по 1504 г.; беспокойная душа не давала ему долго оставаться на одном месте. Он навсегда покидает Италию с тем, чтобы обосноваться на Афоне, где Михаил под именем Максима постригся в Ватопедском монастыре. Этот момент был переломным в жизни писателя: отныне он отрекается от своих прежних гуманистических увлечений и целиком предается изучению богословия.*

*Однако спокойная жизнь Максима продолжалась недолго: в 1516 г. по запросу великого князя Василия III Максим выезжает в Москву для перевода Толковой Псалтири. Несмотря на многочисленные просьбы ученого переводчика, московские власти так и не отпустили его обратно на Афон, используя для перевода и исправления других книг. Жизнь Максима оказалась навсегда связанной с Россией.*

*Михаил Триволис становится Максимом Греком, одним из наиболее плодовитых и разносторонних русских писателей XVI в.*

---

42 Подготовка текста, перевод и комментарии Д. М. Буланина

*В Москве Максим Грек собирает вокруг себя целый кружок образованных русских людей, которые приходили к нему в келью в Чудов монастырь «говаривать с ним книгами». В это время Максим познакомился и сблизился с Вассианом Патрикеевым и примкнул к партии нестяжателей — противников монастырского землевладения. Это предопределило его дальнейшую судьбу. В 1525 г. Максим Грек предстал перед церковным собором, на котором писатель был обвинен в ереси, в сношениях с турецким правительством (в настоящее время доказана полная несостоятельность этого обвинения) и заточен в Иосифо-Волоколамский монастырь. Вторично Максим Грек был вызван на собор 1531 г., на котором ему был предъявлен целый ряд новых обвинений, в частности в порче богослужебных книг. Писатель был вновь осужден, на этот раз вместе со своим другом Вассианом Патрикеевым, и сослан вторично — в Тверской Отроч монастырь под надзор тамошнему епископу Акакию. Лишь в 1551 г, за пять лет до смерти, по ходатайству игумена Троице-Сергиевой лавры Артемия Максима Грека перевели в лавру. Здесь он умер и был похоронен.*

*Литературное наследие Максима Грека обширно и многообразно. Несмотря на наличие ряда серьезных работ, посвященных жизни и творчеству писателя, в целом его сочинения и переводы изучены еще очень поверхностно; многие из них до сих пор не издавались, издание других не отвечает современным научным требованиям. В этой книге публикуются лишь два сочинения Максима Грека. Первое — это послание «о фортунѣ» (адресат его неизвестен), ярко характеризующее общественную атмосферу в Древней Руси XVI в., когда приобрели популярность сомнительные, с точки зрения ортодоксального христианства, мысли, в том числе астрологические и фаталистические идеи (ср. также публикуемую в данном томе переписку Максима Грека с Федором Карповым). Второе — это знаменитая «Повѣсть страшна и достопамятна», в которой содержится подробный рассказ о деятельности и гибели Иеронима Савонаролы. Точной датировке эти сочинения не поддаются — как и большинство творений Максима Грека. Сочинения издаются по рукописи: РГБ, ф. 37, собр. Большакова; № 285, лл. 137 об.—145 (гл. 55) и лл. 271 об. — 196 (гл. 71), содержащей авторскую правку. Два исправления во втором сочинении («кождо», «съкрывающих» вместо читающихся в рукописи «кожо», «съкрывающим» — лл. 284 об., 296) внесены по рукописи также с авторской правкой РГБ, ф. 256, собр. Румянцева, № 264, лл. 232, 239.*

*В переводе и комментарии учтены переводы обоих сочинений в издании: Сочинения преподобного Максима Грека в русском переводе. Ч. I—III. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1910—1911, а также отрывки из «Повѣсти страшной и достопамятной»*

## **ПОСЛАНИЕ О ФОРТУНЕ**

**ТОГО ЖЕ ИНОКА МАКСИМА ГРЕКА ПОСЛАНИЕ К НЕКОМУ ИНОКУ В САНЕ ИГУМЕНА О НЕМЕЦКОЙ ЛЖИ, ИМЕНУЕМОЙ ФОРТУНОЙ, И О КОЛЕСЕ ЕЕ**

Многие называет божественный апостол свойства и проявления истинной и совершенной любви в Боге — из них не радоваться неправде, а вместе радоваться истине я считаю наиболее показательным признаком. Тот воистину верный и истиннейший друг, кто от всей души радуется исправлению и преуспеянию друга своего, как своему собственному; и, напротив, скорбит, когда увидит, что он или уклоняется от спасительных апостольских догматов благочестия и отеческих преданий, или впал в какие-нибудь житейские беды; кто, соболезнуя другу своему, старается всяким способом помочь ему и к первоначальному пониманию истины вернуть его. Такою любовью и я, будучи привязан к твоему преподобию, возлюбленный мой брат, оказался бы воистину преступающим законы святой любви, если бы умолчал, слыша, что ты следуешь эллинскому, и халдейскому, и латинскому, бесами изобретенному учению.

Я говорю о том, о чем ты мудрствуешь сам и в чем убеждаешь других, — будто бы колесом счастья называемой по-латински фортуны Христос-Бог и Спаситель наш управляет человеческими делами и одних этим колесом на высоту власти возводит, других же оттуда низлагает в крайнее бесчестие и бесславие. Удивляюсь я, как ты, такой человек, в знании Боговдохновенных писаний более искушенный, чем другие сверстники твои, так скоро увлекся таким богомерзким учением обманщика Николая Германца, ни в одном божественном Писании до сих пор не услышав об этом учении и не увидев его. Если хочешь последовать истине, то скорее найдешь противное — не только вполне отвержено это учение всеми боговдохновенными отцами и учителями, но и анафеме предано как самое это учение, так и последующие ему и проповедующие его. Мы знаем, что это ложное учение от Зороастра и Остана — древних волхвов, бывших в Персии, получило начало, которые учили, что движением неба и звезд определяются все человеческие дела — будут ли то добродетели или беды житейские; эту прелесть приняли всей душой египтяне, а от них — эллины, которые придумали и другое многое нечестивое про самого Создателя всех и хулящие его. Об этом они, трижды окаянные, мудрствуют и учат этому, считая, что он насильственным влиянием звезд и приближением планет к знакам зодиака делает злыми и добрыми, славными и неславными людей, рождающихся под той или другой планетой и звездой. Они же выдумали, возвещая об этом от земли и чрева своего, баснословное название счастья или фортуны, которую некий мудрец эллинский, по имени Кебес, называет слепой. И сидящей на круглом камне, и слепой он назвал ее в своем заблуждении, так как она беспорядочно, и бессмысленно, и неравномерно распределяет между людьми богатства и власть; на круглом же камне сидящей он ее изображает, потому что дары ее не устойчивы, но легко исчезают и к другим переходят.

Забавляясь такими баснями, сами служа забавой для бесов, эллины и египтяне писали и утверждали свое учение, будучи чуждыми божественному просвещению неложного Богом преданного разума пророческих Боговдохновенных писаний. Злоначальный же и злокозненный дьявол, видя, что ими просвещаются благоверные и потому не следуют такому его богомерзкому учению, но, напротив, ненавидят и чуждаются его, иным способом постарался, наисквернейший, удобоприемлемым сделать то учение для благочестивых: он убедил латинян и германцев, погруженных уже в это учение и поглотивших эту душепагубную ложь, изобразить немного выше богомерзкого подобия ложного разума, то есть баснословной фортуны, пречистый и достойный поклонения образ Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который цепочкой тонкой, от руки святой его спускающейся, управляет фортуной с изображенным перед ней колесом, — чтобы благочестивые склонились к богомерзкой лжи звездочетской, видя, что фортуна управляется пречистой рукой Спасителя. Допускает нечестивый дьявол приписать малую долю показного благочестия к своему лукавому умыслению нечестия, чтобы таким образом утвердить в мыслях благочестивых обман лживых астрологов. И что в этом удивительного! Ведь многократно случалось, что нечестивый не только ангела светлого или священника, святыню носящего, принимал вид, чтобы пустытника святого прельстить, но случалось, что он, наисквернейший, в великом обличий самого Спасителя действовал.

А чтобы убедиться, что такое мудрствование есть лукавое изобретение эллинов, — слушай внимательно и вникни прилежно, что говорит о фортуне баснословной премудрый некий христианский философ. «Счастье у эллинов, — говорит он, — это есть и называется чуждое промыслу управление миром или передвижение от неизвестного к неизвестному и случайному; мы же, благоверные христиане, исповедуем, что Христос-Бог устраивает и управляет всем». И опять он же: «Не человеческими помыслами и рассуждениями, но Божьим промыслом и недоступными его судьбами устраиваются все человеческие дела,

люди же неразумные привыкли называть это случаем и судьбой, не понимая, откуда и по какой причине с кем-либо бывают известные случаи». Мы же, благоверные христиане, веруем во Христа, управляющего всем. Обрати должное внимание на определение эллинами фортуны: они говорят, что счастье есть чуждое промыслу управление миром, то есть происходящее не по премудрому и праведному промыслу Божьему. Понятно ли тебе теперь, как латиняне и германцы весьма хулят единого преблагого, и праведнейшего, и премудрого Творца и правителя всего, подрисовывая к пречистому образу Спасителя богомерзкое изображение счастья, некоей помощницей и споспешницей Спасителя считая его, не научившись этому из Божественных писаний, — ибо нигде не найдешь включенным в Боговдохновенные писания такого душепагубного мудрования, — и не услышав восхваляемым его всеми внешними философами — ведь некоторые и из них слепым называют его и говорят о чуждом промыслу управлении миром, то есть происходящем не по Божьему промыслу и учению? Другие же, осуждая Эпикура-философа за то, что он неправильно мудрствовал и учил, за это его не хвалят и безбожником называют, говоря так: «Эпикурово злостное учение и в том заключается, что вся эта тварь счастьем каким-то, а не волей и судом Божиим управляется». Слышишь ли, чье это учение безбожное и как самими эллинами оно резко порицается?

Как же ты, такой человек, так легко и безрассудно увлекаешься такими безумными обманами немецкими и не повинешься божественному тайноучителю, говорящему нам в Послании к колоссянам: «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира сего, а не по Христу». И опять он же в Послании к евреям: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Как же не устрасился ты тех слов того же богопроповедника, в которых он говорит неразумным галатам: «Если кто благовествует вам не то, что вы приняли (то есть от нас, апостолов Христовых), анафема да будет»; если и «ангелом с неба» будет он, «анафема да будет», то есть да будет проклят. Понимаешь ли из этого, что и немцы, и латиняне подлежат той же апостольской анафеме как чуждые учения вкладывающие в мысли благочестивых.

Постарайся же, Бога ради постарайся, отрекись от такого немецкого обмана и исповедуй прямо и чисто с боговдохновенным Давидом и пророчицей Анной, которые говорят так, открыто и без хитрости всякой: «Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает, из праха подымлет он нищего и из брения возвышает убогого». Для чего, скажи нам, о священная пророчица? «Чтобы посадить его, — говорит она, — с сильными среди людей и престол славы в наследие дать ему». Не фортуной баснословной и вращением колеса, но пророком святым прежде Саула, а потом Давида помазал Господь в цари, этого взяв от паствы овец, «от доилиц», как написано, а того, когда он искал пропавших ослят отца своего. Также разумно обдумай и то, как Иосиф блаженный прославился в Египте, так что признавался вторым после фараона властителем всего Египта; также о том, как Моисей на такую высоту был вознесен — по предназначению и мановению Божьему, а не слепым счастьем и вращением колеса. Чуждо это, вполне чуждо и неизвестно Святым писаниям учение о фортуне латинской, возлюбленный мой брат и господин! По этой причине оно далеко отгоняет от собрания православных, придерживающихся этого богопротивного учения. Таковые оказываются не с Христом собирающими пшеницу чистую, то есть веру пречистую и непорочную в небесные его житницы, которые суть сердца и мысли православно верующих в него, а напротив, высыпают они из себя и слушающих их вложенное свыше в мысли их божественное сокровище, то есть православные догматы о праведнейшем промысле Божьем. О том, что не было написано боговдохновенными пророками и апостолами, не подобает нам мудрствовать, строго заповедует великий всей вселенной светильник Иоанн Златоуст.

Будем же пребывать в пределах неложного благоразумия. Будем пить незлобиво «словесное и чистое молоко», как не знающие злобы младенцы, чтобы точно исполнить нам повеление Спасителя, сказавшего: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное». И еще: «Кто не примет царство Божие как дитя, не может войти в него». «Царством Божиим» называет Владыка здесь евангельскую проповедь, то есть то, что, сам услышав от отца своего, открыл своим ученикам. Это суть: заповеди, таинственные притчи, догматы о неложном богопознании, то есть о вечном бытии Отца, и Сына, и святого Духа — единого Божества, и господства, и царства, о бессмертии души и о грядущем в конце света общем воскресении, и о воздаянии жившим благочестиво и богоугодно, и о бесконечном мучении не покорившихся апостольской проповеди, нечестиво живших.

Все эти и подобные им апостольские и пророческие догматы и предания Спаситель наименовал одним словом «царство Божие» и желает, чтобы мы это просто и с полной верой и благоговением приняли и твердо себе усвоили, как незлобивые дети без рассуждения принимают наставления своих учителей, благодаря вере и покорности наставникам достигая совершенного знания Священных писаний и словесных наук. Так следует и нам прилежно держаться данных нам самим Спасителем нашим, и святыми его учениками, и апостолами, и вселенскими соборами догматов и заветаний и отнюдь ничего к ним не прибавлять и не убавлять по правильному установлению богоносных отцов наших, святыми молитвами которых да сподобимся получить удел спасаемых, аминь.

## ПОВЕСТЬ О САВОНАРОЛЕ

### ТОГО ЖЕ ИНОКА МАКСИМА ГРЕКА ПОВЕСТЬ СТРАШНАЯ И ДОСТОПАМЯТНАЯ И О СОВЕРШЕННОЙ ИНОЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Приступая к написанию некоей страшной повести, прошу читающих сочинение это не подумать обо мне, что я лгу о небывалом. В свидетели им предлагаю самого Бога, который знает тайное, что я об истинном пишу, что сам не только написанным видел и прочел, но и слышал от мужей правдивых, то есть добродетельной жизнью и мудростью многой украшенных, у которых я, будучи еще очень юным, прожил долгие годы. Пусть же у читателей сомнения не вызывает и то, что у людей, латинские учения любящих, свершилось такое славное чудо по воле хотящего, чтобы «все люди спаслись и достигли познания истины». Ибо в обычае божеской благодати везде всем людям распространять неизреченные дары и блага от своих щедрот, являя себя таким образом всем вместе с поднебесной и обращая к себе все творение свое, так как Бог «повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Но об этом достаточно, теперь же время начать повесть.

Париж — город славный и многолюдный в Галлии, которая ныне называется Францией, — держава великая, и славная, и богатая бесчисленными благами, а из них первое и лучшее — забота и усердие относительно философских и богословских догматов, даром преподающихся всем, стремящимся к таким превосходным наукам. Ибо преподавателям этих наук плата значительная выдается ежегодно из царской казны, так как тамошний царь имеет великую ревность и заботу о словесных науках. Там преподаются всякие науки не только по части нашего благочестивого богословия и священной философии, но и о внешней мудрости всяческие науки, которые доводят ревнителей своих до совершенного познания, а этих ревнителей там великое множество, как я слышал от некоторых. Ибо со всех западных стран и северных собираются в упомянутый великий город Париж одержимые стремлением к словесным наукам не только дети простых людей, но и

родственники достигших царского престола или боярского и княжеского сана: у одних там сыновья, у других братья, у иных же внуки и прочая родня. Каждый из них, достаточное время пробыв в учении прилежном, возвращается в свою страну, исполненный всякой премудрости и разума. И он служит украшением и предметом похвалы для своего отечества, для которого он становится советником прекрасным, и руководителем опытным, и помощником рьяным во всем, в чем потребность будет. Такими должны быть и становиться для своего отечества те, которые у нас благородством и обилием богатства весьма хвалятся и которые, священным учением словесных наук наставляемые и просвещаемые, смогут не только свои собственные непохвальные страсти одолеть, и о внешнем женоподобном украшении не заботиться, и свободными от сребролюбия и всякого лихоимства себя сохранять, но еще и других заставят подражать себе, любить всякую богоугодную жизнь. Но об этом достаточно.

Итак, в знаменитом городе том был некий муж, искушенный во всякой премудрости внешней, и нашего священного богословия учитель великий и первый из числа бывших там наставников, а имени его я не узнал и не слышал его никогда ни от кого. Этот-то, столь удивительный и знаменитый муж, объясняя, по обыкновению своему, своим ученикам богословские изречения блаженного апостола Павла, возгордился в мыслях по причине имевшихся у него многогранных познаний, и вырвалось, говоря словами Писания, «велеречие из уст» его, и он сказал, не устранившись: «Это богословское изречение даже сам Павел не мог постигнуть и объяснить, как это сделал я». О, какое это безумное велеречие, и дерзость, и многолетнее неразумие! Как не понял он спасительного завета Спасителя, гласящего: «Ученик не выше учителя своего»; и еще: «Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его»? Но если он и забыл этот завет Владыки, то Божий суд, который всегда гордым противится, не замедлил, но тотчас его настиг, и мертвым его тут же сделал, и безгласным сотворил бывшего прежде громогласным и хвастливым; и вот он уже мертв и безгласен на учительском своем месте. Оказавшиеся же тогда там многочисленные его ученики, ужасом и страхом охваченные из-за случившегося по воле ничем не подкупного Судьи, сняв умершего оттуда и положив в гроб, в церковь его отнесли и совершили положенное над умершими обычное пение. Но, о страшный рассказ: мертвый ожил и, сев в гробе, воскликнул: «Я поставлен пред Судьей». И, сказав это, опять мертвым опустился без дыхания и без гласа. В то время как присутствующие были в ужасе от того, что они увидели и услышали, и «Господи, помилуй» долго с великим страхом взывали, вновь мертвый, ожив, сказал: «Я испытан был». И вновь мертвый опустился в гроб, и вновь еще больший страх объял присутствующих, великий ужас, и «с погребением не будем спешить, — говорят они, — услышим, чем кончится необычное это явление». Вновь умерший ожил и последний звук издал, сказав: «Я осужден». И больше уже не оживал и не говорил. Таков был конец знаменитого этого наставника, и таково было возмездие за безумное превозношение того, кто ослушался божественного проповедника, говорящего: «Но знание делает гордым, а любовь назидает».

С тех пор ученики его, многие числом, и благородные, и богатые юноши, презрев преходящие красоты суетной этой жизни, и усердие излишнее в науках, и славу суетную от этих наук, — все это презрев и отвергнув, отреклись дружно от всех житейских забот и, свои богатства и имущества нищим и нуждающимся раздав, согласно евангельской заповеди, устремились единодушно в отдаленное место, и там монастырь устроили себе, и, малую часть богатств монастырю отделив на пропитание себе, иноческое житие возлюбили, новое правило и порядок, не для всякого легко выполнимые, такие себе установили: каждый обязан жить один в своей келье, не выходя наружу и ни с кем не беседуя, возлюбив совершенное молчание не только у себя, но и во время установленных в церкви собраний, а эти собрания с великой кротостью и в молчании посвящать Богу и ни о чем житейском ни в коем случае не говорить между собой; есть же каждый должен в своей

келье то, что приносится ему общим слугой, причем этот слуга не через дверь входит к иноку — что запрещено было строго — но подает через окно, устроенное возле двери, положенную пищу, не ту, какую бы кто пожелал, но какую настоятель их указал строителю обители; а собираться в трапезную они должны каждое воскресенье и по всем большим праздникам. За каждой кельей был у них маленький садик на малую им утеху, и колодец маленький под самым окном, и ковш медный, и в кельях у них не найдешь ничего другого, кроме нескольких книг и рубища, которое они носят на себе. Где у них особая какая-нибудь вкусная пища, или напиток, или какие-нибудь овощи, или что-нибудь другое, услаждающее гортань? Где у них накопление серебра и золота? Где у них празднословие, или сквернословие, или смех несвоевременный и бесчинный? О пьянстве же и избытке вкусной еды даже и не слышно у них; сребролюбие же, и лихоимство, и ростовщичество, и лукавство почиталось в них мерзким и проклятым; одежда была у них власяная и вся белая, обозначающая чистоту их жизни и существования; а ложь, и слушание, и пререкание исчезли у них окончательно. Где у них отвержение обетов, которые они дали Богу, когда постригались? Ничего этого не найдешь, даже много потрудившись! Но и других обителей, как это бывает из-за переходов частых, они не знают, — не как мы переходим бесчинно вопреки обетам нашим из обители нашей в другую, по легкомыслию ума нашего, нарушая указания Бога и Спасителя нашего, повелевающего нам в своем Евангелии: «В какой дом войдете, там оставайтесь, пока не выйдете», а не переходите из дома в дом. Что на это мы ответим страшному и неподкупному Судье? Ибо он так говорит непреложно: «Всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному», и прочее, что известно всякому. Нет у нас ответа, и мы будем признаны им безрассудными как безумно преступающие святыя заповеди его.

Услышим и о другом их порядке, весьма угодном Богу и спасительном для возлюбивших иноческую жизнь. Усмотрели они премудро, что по причине редкости избравших ангелоподобную иноческую жизнь и вследствие краткости человеческого существования имеющиеся всюду в стране их честные обители — одни переполнены иноками, и священниками, и дьяконами, а в других, напротив, настоятели и наставники монашеских орденов терпят недостаток в них. Ибо у латинян существуют различные монашеские ордены, а не один, как у нас. Настоятель каждого ордена, которого называют генералом, повелевает в такой-то город собраться всем игуменам и начальникам из всех монастырей для рассмотрения и исправления того, что содействует спасению и существованию иноков и их монастырей. И по повелению его собираются все без отговорок в тот город, какой он назначит. И все они люди сведущие во всякой философии и в смысле Боговдохновенных писаний, иногда их тысяча, а иногда и больше тысячи, и всех их кормит город, в который они собираются, пока живут в нем. В этом городе во все дни собираясь вместе, они рассматривают по Божьей воле порядок в монастырях, их богоугодное устройство и если узнают, что в какой-либо обители имеется недостаток в священниках, и дьяконах, и в простых иноках, то, взяв из другой многолюдной обители, посылают их туда с соборным посланием. И ни та обитель, из которой они взяты, не скорбит и не противится, ни та, куда они посланы, не ослушивается соборного постановления, но обе с большой радостью и послушанием повинуются соборному постановлению: одна обитель отпускает братию с миром, а другая принимает с великой братской любовью как свои члены. И таким образом оказываются они исполнителями священных слов: «Странник я и пришелец, как и все отцы мои». Таково их совершенное братолюбие и покорность настоятелям своим. Нет у них ничего своего, но все общее, нестяжательство они любят как великое благо духовное, ибо оно сохраняет их в спокойствии и во всякой правде, и в твердости помыслов, и вдали от всякого сребролюбия и лихоимства.

Таким же образом собор их рассматривает и исправляет и то, что касается игуменов монастырей. И если о каких из них узнают, что они бесчинно и не по установленному

порядку и правилу управляют братией, таких смещают, и епитимию заслуженную на них налагают, и, других избрав на их место, посылают с грамотами от собора в порученные им монастыри. Все это и подобное этому правильно и богоугодно сообщая рассмотрев и упорядочив, они расходятся, и каждый спешит в свою обитель. Избранный же собором генерал, что значит по-русски соборный наставник и надзиратель, все без исключения честные обители своего ордена постоянно объезжает, проверяя игуменов монастырей, как каждый из них управляет братьями и монастырскими делами, и если он делает это благочинно и как угодно Господу — похвала такому от генерала и утверждение, если же игумен не таков, — сместив его, генерал налагает на него епитимию и другого на его место ставит. Таким способом незыблемо укрепляются их честные обители во всяком благочинии и благоговении иноческом, в союзе священной любви содержась и утверждаясь. Так следовало бы и нам, православным, устраивать в отношении нас, иноков, и чтобы соборами богоносных отцов избирались игумены священных монастырей, а не так, чтобы дарами серебра и золота, даваемыми народным писарям, игуменские места достигались желающими, из числа которых многие совсем не обучены предметам божественным и ведут бесчинную жизнь, упражняясь всегда сами в пьянстве и во всяком чревоугодии, и находящиеся под их управлением братья, лишены заботы об их телесных потребностях и в небрежении духовном, скитаются по бездорожью, как овцы, не имеющие пастыря. Увы, увy, пощади, Господи, пощади!

Если же некоторые, самолюбием и славолубием ослепляемые, спросят: как и чем они питаются, любя совершенное нестяжательство, — я и это покажу им, ибо они сами добровольно закрывают глаза перед евангельской истиной, самолюбием и славолубием побеждаемые. Не слышали ли вы, добрейшие, Спасителя нашего Иисуса Христа, говорящего священным ученикам своим: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Ищите же прежде царства Божия и правды его, и это все приложится вам». Эту спасительную заповедь владыки и поучение соблюдая, они не пекутся о том, как приобрести в изобилии имения, и богатства, и стада разного скота или большие земные сокровища, золото и серебро. Одно у них в изобилии богатство и сокровище неистощимое — прилежнейшее хранение и исполнение всех евангельских заповедей, посредством которых скоро и удобно достигается ими самая главная добродетель — любовь к Богу и ближнему своему, ради чего они день и ночь трудятся в изучении святых писаний, просвещаемые которыми они более и более разжигают в себе угли божественных желаний, движимые и руководимые которыми, они не могут умалчивать спасительное и учительное слово во славу Божью и поучают непрестанно в церкви людей Господних, доказывая всякому человеку неизмеримое человеколюбие и благость Господню к тем, которые живут, как угодно Богу, своего спасения страхом Божиим достигают; также возвещают и нестерпимый его гнев и ярость против непрестанно вызывающих гнев неизреченного его долготерпения всякими беззакониями, и неправдами, и постыдными делами. Так непрестанно посвящая себя служению людям и как чадолюбивые отцы заботясь непрестанно о спасении многих, они у всех находятся в чести и всеми любимы, и потому все с великой благодарностью и с добрым расположением предлагают им ежедневно пищу и прочее, что для жизни необходимо.

Но следует мне рассказать вам и о способе подаяния: ибо он служит свидетельством немалого смирения. Каждый день настоятель обители отпускает двух монахов, у каждого из которых сума льняная, на левом плече висящая, и они, войдя в город, обходят дома, находящиеся на одной улице, и просят Господа ради хлеба на братию, и, наполнив сумки чистым пшеничным хлебом, возвращаются в обитель свою. Таким способом они каждый день добывают себе пищу на день, переменяя городские улицы. Но кто и каковы эти просители? Это бывшие прежде благородные и богатейшие люди, которые, подражая Господней нищете, добровольно делаются нищими и не стыдятся послужить нуждам

своей обители, без ропота и раздумий. А кто, услышав о смирении игуменов их и благочинии во время обеда, не ужаснется? Не увидишь у них в руке жезла — ни внутри монастыря, ни вне его, ни во время божественного пения; не видно и чтобы они лучшими, чем другие братья, одеждами украшались. Войдя же в трапезную и прочитав предварительно «Отче наш», как и у нас принято, сядут они по порядку тихо и со всяким благочинием, а хлеб уже положен у них не посередине стола, как у нас принято, но напротив каждого на краю стола — каждому из них целый калач, и рядом нож, и ложка, и чарка пустая. И никто не смеет прежде игумена взять себе свой хлеб или, разрезав его, попробовать. Тогда два юных инока входят, и каждый из них несет на тонкой дощечке приготовленное для братии кушанье в чашках оловянных, и, начав с последних, протягивают инокам эти дощечки с чашками, и каждый своей рукой берет чашку, а после всех уже и игумен берет чашку. Но еще не смеют они коснуться хлеба, пока назначенный инок не начнет читать положенное чтение. Когда же он начнет, то игумен ударяет трижды в висящей перед ним колокольчик. Тогда сам настоятель берет положенный перед ним калач, также и остальные. Когда они едят, входит виночерпий и, начав с последнего, наполняет также вином по порядку чарки их. И если другое какое кушанье будет принесено, и его прислуживающий предлагает, начиная с последних вплоть до игумена. После еды они встают и начинают петь благодарственные молитвы, и с пением выходят из трапезной попарно и благочинно и, войдя в церковь, здесь заканчивают благодарственные песни.

Услышим и о другом их богоугодном и спасительном установлении, которое они придумали для полного искоренения всяких дурных и плохих своих привычек. Приказание дается игуменом имеющимся в обители священникам и дьяконам наблюдать друг за другом в течение всей недели, когда и в чем кто согрешит словом или другим каким-нибудь бесчинием, и о таком прегрешении извещать игумена. Вечером же каждую субботу после мефимона собирает игумен всех в назначенном для этого помещении. И когда все соберутся, то сперва игумен читает поучение духовное послушникам и прочим простым братьям и, поучив их достаточно, отпускает каждого в его келью, где тот пребывает в молчании великом и безмолвии. Оставшимся же при нем священникам и дьяконам, когда они также будут достаточно им наставлены, игумен повелевает, чтобы каждый из них открыл ему, кого в чем он видел согрешившим: или словом, или неприличным смехом, или гневом, или другим каким-нибудь подобным прегрешением. И когда они откроют ему, в чем кто согрешил в течение всей недели, такой епитимией он исправляет их: повелевает им опуститься на землю на колени и правое плечо обнажить. И когда они повеление исполняют, один из иноков, по приказанию игумена, держа в правой руке очищенные прутья, в виде веника, ходит и по очереди бьет их по обнаженному плечу, причем те читают пятидесятый псалом. После этого бываю отпускаемы с благословением в свои кельи.

Узнав, каким образом и откуда подается им ежедневно хлеб, услышим теперь и то, откуда получают они и остальную необходимую пищу по промыслу Божьему. Жители городов по причине великого своего к ним благоговения и любви из-за богоугодного существования и жизни этих монахов присылают им — кто бочку вина, кто масла, кто рыбы, а кто сыр и яйца. Иной кто-нибудь, в несчастье каком-нибудь или беде находящийся, приносит им пищу, прося игумена, чтобы тот велел находящимся под его управлением братьям помолиться Господу о нем, чтобы его избавил Господь от ожидаемой им скорби. И во время обеда игумен говорит во всеуслышание: «Тот, кто сегодня кормил нас, умоляет вас помолиться Богу, чтобы его избавил Господь от несчастья и печали, которую он ожидает. Помолитесь же о нем прилежно, каждый в келье своей!» Так, благодаря преподобным молитвам их избавившись от печали, которую он ожидал, человек опять в изобилии дает им все необходимое.

В доброте своей и премудрости обещал священным своим ученикам человеколюбивый Господь, сказав: «Ищите прежде царства Божия и правды его, и это все приложится вам». Поэтому и они, поскольку они царство Божие, то есть спасение свое и ближних своих, прилежно и богоугодно ищут поучениями различными и частыми из божественных писаний, себя и слушающих их спасают, достойно и праведно, в свою очередь, человеколюбивый Бог спасающимся дает в изобилии все необходимое для жизни, содействующим ему в спасении многих, а это спасение он «царством Божиим» иносказательно называет. Если даны ему Отцом живущие везде народы в «наследие и владение пределы земли», как написано во втором псалме; и в другом псалме: «Воцарился Бог над народами» — как бы он иначе царствовал, если не посредством веры в него и обращения к нему? Ибо как создатель и попечитель всех царствует он всегда; получает же царство от Отца и как человек, как сам говорит о себе во втором псалме: «Я поставлен царем от него». Итак, блаженны воистину те, которые заботятся, чтобы столь желанное Богу царство возрастало постоянно правдой его, то есть прилежным исполнением святых его заповедей, которые трудятся непрестанно в изучении и чтении боговдохновенных Писаний его, которые, потаенный смысл их с усердием всяким простым людям объясняя и поучения всяческие от себя добавляя, приносят всегда, как плоды, Владыке своему души разумные, до этого уловленные от дьявола. За это они несомненно услышат от него вот что: «Хорошо, рабы добрые и верные. В малом были вы верны, над многим поставлю вас: войдите в радость Господина своего». Сказанного здесь об этом достаточно для славы Господа нашего Иисуса Христа и для пользы, вместе и для возбуждения ревности божественной у тех, которые с благодарностью слушают повести о благочестии. Теперь же прислушаемся к некоей другой также душеполезной повести, достойной памяти, подражания, если действительно желаем угодить Господу нашему.

Флоренция — город прекраснейший и лучший из находящихся в Италии городов, которые я сам видел. В том городе есть монастырь, где живут монахи, называемые по-латински предикаторы, то есть божьи проповедники. У храма же священной этой обители святейший апостол и евангелист Марк является покровителем и предстателем перед Господом. В этой обители игуменом был некий священноинок по имени Иероним, латинянин по происхождению и по вере, исполненный всякой премудрости и понимания боговдохновенных Писаний и внешней науки, то есть философии, подвижник великий и обильно украшенный божественной ревностью. Этот игумен, движимый великим пониманием боговдохновенных Писаний, и еще более — божественной ревностью, поняв, что город Флоренция двумя богомерзкими грехами сильно поработен, то есть богомерзким беззаконием содомитов и безбожным лихоимством и бесчеловечным ростовщичеством, божественной ревностью разжегся и пришел к следующему доброму и богоугодному решению: поучительным словом из божественных Писаний помочь городу тому и полностью истребить эти нечестия. Приняв такое решение, он начал учить в церкви людей Божьих всякими премудрыми поучениями и разъяснением книг, а в храм святого Марка-евангелиста собиралось к нему часто множество слушателей из числа благородных и первых жителей города того. Его полюбил весь город, и упрашивали его, чтобы он в самую соборную церковь пришел и стал учить их Божьему слову и закону. И он, согласившись с их решением и желанием, с усердием предпринял этот подвиг из любви к Богу. И каждое воскресенье, и во все большие праздники, и каждый день на протяжении всей святой Четырдесятницы, приходя в соборную церковь, он обращался к народу с поучительным словом с высокой кафедры, стоя по два часа, а иногда и дольше продолжалось поучение. И такое действие произвела проповедь его, что большая часть города, полюбив твердые и спасительные поучения его, отказалась совершенно от злобы и лукавства и полюбила вместо всякого блуда, и постыдных дел, и плотской нечистоты всяческое целомудрие и чистоту, а неправедный, и лихоимец, и ростовщик сделались все

праведнейшими, и милостивыми, и человеколюбивыми. А некоторые из них, подражая Закхею, начальнику мытарей, упоминаемому в Евангелии, зло и несправедливо собранные ими имения добровольно раздавали нуждающимся руками учителя своего. Скажу попросту, чтобы, говоря обо всех по порядку его деяниях, не наскучить читателям рассказа этого, — большая часть города превратилась из последователей великой злобы в настоящий образец достохвальной добродетели.

Об одном только поступке похвальном, совершенном одной женщиной бедной, расскажу любителям добродетели, из которого они смогут понять силу боговдохновенных поучений мужа того. Сын бедной этой вдовы, найдя на улице потерянный кошелек из камки, в котором было пятьсот золотых монет, принес его матери своей. Но она, увидев кошелек, не обрадовалась тому, что такой находкой она сможет избавиться от крайней своей нищеты, и не скрыла находки у себя, но тотчас отнесла ее священному учителю города и сказала: «Вот, преподобнейший отец и учитель, смотри: кошелек этот потерянный нашел сын мой на улице. Возьми его и, как знает преподобие твое, отыщи потерявшего кошелек и отдай ему его, чтобы не скорбел неутешно человек об этом». Учитель, подивившись правдолюбивому нраву вдовы, благословив, отпустил ее. Однажды, когда учил в церкви, он возгласил, окончив поучение: «Если кто потерял деньги, пусть выйдет на середину и пусть скажет о количестве потерянных денег, и приметы кошелька, и день, когда он потерял деньги, — и возьмет свое». Тогда предстал потерявший деньги и сказал учителю и день, и количество денег, и приметы кошелька. «Вот тебе, — сказал учитель, — твое, о юноша, а убогую эту вдову, как хочешь, утешь, ибо она избавила тебя от большой печали, которую ты испытывал». Тот, вынув сто золотых монет, отдал ей с большой радостью. Насколько более заслуживает похвалы вдова эта в сравнении с той, которая восхваляема в Евангелии за две лепты, которые она положила в дар Богу! Потому что та в принадлежавшем ей и в «малом проявила свою набожность, а эта в чужом и значительном имуществе проявила свою правдивость и человеколюбие.

Мог бы я и другие некоторые подобные достопамятные следствия богоугодного учения того мужа поведать вам, но чтобы пространностью рассказа этого писания не пресытить слух ваш, добровольно опускаю их и к концу пятилетнего учения его обращаю течение словесное. Итак, полгорода добрым образом, как Богу угодно, исправилось благодаря ему, другая же половина не только не слушалась его и противилась его божественным поучениям, но и была враждебна к нему настолько, что они замазали человеческим калом перила, на которые он привык опираться руками, стоя и изливая людям струи поучений. Он же, подражая кротости и долготерпению ко всем Спасителя, все терпел мужественно, желая исправления многих. Поэтому он и тех, которые находятся у власти церковной, но живут не по-апостольски и о пастве Спасителя Христа не пекутся, как подобает, — даже тех он не похвалял, но безбоязненно обличал прегрешения их и часто говорил: «Если бы мы жили согласно Евангелию Спасителя Христа, несомненно, все иноверные народы обратились бы к Господу, видя нашу равноангельскую жизнь, и это много послужило бы нам ко спасению и наслаждению вечными благами. Теперь же, живя вопреки евангельским заповедям, мы ни себя не исправляем, ни других не стараемся привести к благочестию — что другое мы надеемся услышать от праведного Судьи, кроме этого: “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человекам; сами не входите и желающих войти не допускаете”». Говоря это без стеснения и еще более жестокими словами осуждая почитаемого у них папу, и состоящих при нем кардиналов, и прочий их клир, он подал повод к еще большей к нему ненависти со стороны возненавидевших изначально священные его поучения. Они называли его даже еретиком, и хулителем, и обманщиком, поскольку он отверз уста свои на священного их папу и всю церковь римскую. Дошел и до Рима такой слух о нем и сильно смутил папу и состоящий при нем клир, так что они послали ему соборное запрещение, запрещающее ему учить людей Господних, и

уподобились говорящим в «Деяниях святых апостолов»: «Но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей». Таким образом они решили и так ему запретили, прибавив в соборном своем писании, что если он не прекратит впредь так поступать, то будет проклят ими как еретик. Он же не только не послушался такого беззаконного их решения, но еще более разжегся божественной ревностью и соборное их послание называл несправедным и негодным Богу как повелевающее ему не учить в церкви верующих. Поэтому он еще более стал обличать их беззакония, ибо, как я не без основания догадываюсь, он решил про себя и умереть за благочестие и Божью славу, если это будет необходимо. Ибо в ком возгорится огонь божественной ревности, того он не только богатства и имения, но и саму жизнь заставляет презирать. И свидетель тому непреложный — сам Господь, говорящий: «Очень желал я есть с вами сию пасху». Это он сказал, так как хотел принять как человек смерть во славу Бога Отца своего и ради человеческого спасения. И сам страстный последователь и пособник Христов Павел говорит: «Имею желание разрешиться и быть со Христом»; и еще: «Ибо для меня жизнь — Христос и смерть — приобретение». Поскольку же приверженцы папы не переставали грозить ему и всяким образом отрывать его от проповеднической кафедры, а он со своей стороны продолжал не подчиняться им и неправды их обличать, то они решили смерти предать его, что и исполнили следующим образом: избрав некоего генерала, по имени Иоаким, рьяного в исполнении их лукавого решения, послали его, уполномочив властью папы лишить проповедника власти игуменской и, допросив его, предать его смерти через сожжение как непокорного, и противника, и клеветника апостольской римской церкви. Этот Иоаким, прибыв в город Флоренцию и показав высшему начальству города грамоты папы, вызвал проповедника в суд и подверг его мучительным пыткам. Когда тот дерзновенно отвечал на все ухищрения своего несправедного следователя, так что судья не мог признать его виновным, свидетели лживые из числа беззаконников и не покорившихся его учению выступили против этого преподобного и невинного наставника города их, высказывая против него самые тяжкие и несправедные обвинения. На основании этих обвинений несправедные те судьи к двойной казни присудили его и еще двух священников мужей, учеников его: на виселице повесив, разожгли огонь под ней и сожгли их.

Такой был конец жизни этих трех преподобных иноков, и такое получили они воздаяние за подвиги во имя благочестия от недостойнейшего их папы — Александр тогда был им, Александр, родом из Испании, который всякими неправдами и злобой превзошел всех законопреступников. Я же настолько далек от согласия с несправедными теми судьями, что с радостью сравнил бы погибших иноков с древними защитниками благочестия, если бы они не были верой латинянами, ибо подобную древним мученикам горячую ревность за славу Спасителя Христа и за спасение и исправление верных усмотрел я в преподобных тех иноках, — не от другого кого-нибудь слышал, но сам их видел и на поучениях их многократно присутствовал. Не только подобную древним ревность за благочестие я усмотрел в них, но еще такую же премудрость, и разум, и искусство в боговдохновенных и внешних писаниях я усмотрел в них, и более других — в Иерониме, который по два часа, а иногда и более, стоя на кафедре учительской, обильно изливал слушателям струи учения, — не книгу держа в руках и черпая оттуда свидетельства, подтверждающие его слова, но заимствуя их из сокровищницы своей великой памяти, в которой было сокрыто всякое богомудрое понимание искусства святых Писаний.

Я это пишу не для того, чтобы показать латинскую веру чистой, совершенной и правильной во всем, — да не будет во мне такого безумия! — но чтобы показать православным, что и у неправильно мудрствующих латинян есть попечение и прилежание о евангельских спасительных заповедях и ревность за веру Спасителя Христа, хотя и не до конца осмысленные, как говорит божественный Павел-апостол о непокорных иудеях:

«Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Так и латиняне, хоть и во многом соблазнились, к ошибочным некоторым и странным учениям обращаясь, прельщенные присущим им многознанием эллинских наук, но не окончательно отпали от веры, и надежды, и любви в Спасителя Христа, ради которого их монахи по святым его заповедям прилежно устраивают свою иноческую жизнь, так что их единомыслию, и братолюбью, и нестяжательности, и безмолвию, и умиротворению, и заботе о спасении многих следует и нам подражать, чтобы не оказаться хуже их. Это я говорю относительно прилежного исполнения евангельских заповедей, ибо как их не делает совершенными прилежное исполнение заповедей Спасителя, пока они не откажутся от своих ересей, так и нас не делает совершенными одна православная вера, если не дополняем ее прилежным исполнением евангельских заповедей. Ибо сам Господь взывает к преступающим их: «Что вы зовете меня: “Господи! Господи!” и не делаете того, что я повелеваю вам?», то есть молитвы частые и продолжительные приносите мне, а мои заповеди презираете и не исполняете их на деле, как я установил их. И в другом месте Господь говорит: «Всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному», и прочее. По этой же причине и те пять дев названы неразумными и не были впущены в небесный чертог. Также и пришедший на мысленный брачный пир не в брачной одежде, связанный по рукам и по ногам, будет изгнан и ввержен во тьму кромешную. Также и хвальные тем, что они совершили во имя Господа чудеса многие, и пророчествовали, и бесов изгнали, не будут признаны тогда праведным Судьей и услышат от него: «Отойдите от меня, делатели неправды; аминь говорю вам: не знаю вас, откуда вы». Если же они пророчествовали во имя Господа, и бесов изгоняли из людей, и многие чудеса творили, то почему он не признает их, и отгоняет, и «делателями неправды» называет? Ответ на вопрос этот: потому что хотя они и творили чудеса по какому-то неведомому действию Божьей силы, но, как кажется, они не имели дарованный Богом дар совершенной любви к Всевышнему и к ближним своим, с которой соединена Богом украшенная и Богом созданная милость ко всем нуждающимся в милости и помощи. Неложный свидетель этому — блаженный апостол Павел, взывающий: «И если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». Поскольку же не было в них такой Богом украшенной и Богом созданной любви и соединенной с ней милости, поэтому не признаются они милостивым Богом и как «делатели неправды» отгоняются им. «Ибо суд без милости не оказавшим милости», — говорит божественное слово. Не принимает в себя божественный рай скрывающих себе на земле со всяким лихоимством и бесчеловечием сокровища золота и серебра, но отгоняет их, говоря: «Вон, псы, и чародеи, и блудники, и убийцы, и идолослужители, и всякий, кто любит неправду и совершает ложь». «Блажен, кто, — как сказано, — помышляет о нищем и бедном», то есть милующий и щедро подающий ему; а оскорбляющий его, и обижающий, и угнетающий его непрестанно ежегодным требованием долгового роста — проклят от Бога, и отвержен, и в неугасимый огонь отсылается, и с ненавидящим нищих богачом сжигается на веки вечные. Богу нашему слава, и владычество, и благолепие на бесконечные века, аминь.

## **ХОЖДЕНИЕ НА ВОСТОК ГОСТЯ ВАСИЛИЯ ПОЗНЯКОВА С ТОВАРИЩИ**<sup>43</sup>

### **О произведении:**

*Василий Позняков — участник посольства, отправленного царем Иваном IV Грозным в 1558 г. из Москвы в Царьград, Александрию, Синай, Иерусалим для оказания материальной помощи («милостыни») Синайскому монастырю св. Екатерины, пострадавшему от турок. За этой помощью к московскому царю и митрополиту обратился в 1556 г. с официальной грамотой александрийский патриарх Иоаким. Посольство из Москвы на Восток (через Смоленск, Литву, Волошские земли), длившееся более двух с половиной лет, встретилось с трудностями и испытаниями: еще в Литве у*

<sup>43</sup> Подготовка текста, перевод и комментарии О. А. Белобровой

него были отняты ценные меха и 300 рублей денег; в Царьграде скончался архидиакон Геннадий. В составе посольства остались светские лица: смоленский купец Василий Позняков с сыном, пскович Козьма Салтанов, смолянин Дорофей и другие. Кто из них вел записи и составил затем описание хождения к христианским святыням Востока, точно неизвестно. Еще в конце XVI в. оно было положено в основу Хождения Трифона Коробейникова, надолго вытеснившего память о действительном путешествии Познякова, сведения о котором сохраняются в Новгородской Второй летописи.

Ценность Хождения Василия Познякова заключается в насыщенности известиями и легендами, услышанными путниками при посещении монастырей и храмов христианского Востока. Некоторые легенды восходят к библейским сюжетам, например о пророке Илье, о деяниях пророка Моисея и др.; немало упоминается новозаветных лиц и событий. Значительное место в Хождении занимают апокрифические рассказы. Один из сюжетов — чудо с александрийским патриархом Иоакимом — вошел в качестве самостоятельного рассказа в состав русского Хронографа и в древнерусские сборники XVII—XVIII вв.

В настоящем издании привлечен список Хождения из сборника Копенгагенской Королевской библиотеки № 553-с, XVII в. (по микрофильму РНБ). В этом списке утрачен самый конец (восполнен по списку РГБ, собр. ОИДР, № 214), но зато отличается полнотой и ясностью изложения его начало. До сих пор памятник был известен по публикациям И. Е. Забелина (ЧОИДР, 1884, кн. 1) и Х. М. Лопарева (ППС, вып. 18. СПб., 1887). В 1962 г. в Дрвлекранилище Пушкинского Дома поступили сборники, в составе которых оказались еще два списка Хождения Василия Познякова, XVIII в., к сожалению, дефектные.

В 7067 <1559>-м году государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси при благоверной царице и великой княгине Анастасии, и при царевичах Иване и Феодоре, и при святейшем папе и патриархе Макарии, митрополите всея Руси, и при архиепископе новгородском Пимене послал в Царьград, Иерусалим, Египет и в Синайскую гору новгородского архидиакона Геннадия и купца Василия Познякова, да Дорофея Смолянина, да Кузьму Салтанова, псковитянина. Геннадий, не достигнув Иерусалима, умер в Царьграде. А Василий Позняков с товарищами побывали в святом граде Иерусалиме, и в Египте, и в Синайской горе, и в Раифе, и что там видели, то бывшее и описали. И вернулись в царствующий град Москву.

А путешествие их таково: сначала пришли в Египет к папе и патриарху александрийскому Иоакиму и стали ему говорить о здравии государя царя и великого князя: «Благоверный и христоробивый царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси здравствует, отче». Также и о благоверной царице и великой княгине Анастасии, и о царевичах — об Иване и Феодоре. Он же спросил нас о митрополите. И мы о митрополите ему сказали: «Макарий, митрополит великого града Москвы и всея Руси, велел тебе, святейшему папе и патриарху Иоакиму, челом ударить». И мы поклонились до земли. Он же сказал нам: «Как Бог милует брата нашего Макария, митрополита всея Руси, и как он церковь Христову пасет и словесное стадо?» Мы же отвечали ему: «Здравствует вашими молитвами о Христе и церковь Христову хранит целой и непорочной». Он взял у нас Пречестной образ и шубу. И благословил нас своим благословением, и велел принести кресло, и для нас возле себя велел поставить кресло, потому что в палате его лавок нет, а середина застлана шелковыми коврами. Сам же он сел и нам велел сесть возле себя. И взял нас за руку и велел переводчику говорить: «Нам подобает, де, спрашивать вас про вашу веру православную и о Божьих церквах стоя. И вы, де, меня не осудите в том, оттого что я весьма немощен, девятнадцать дней лежал на постели своей, а ныне, думаю, Бог меня поднял с постели ради вашего прибытия». Мы же ему поклонились до земли и сказали ему: «Вашиими святыми молитвами мир стоит». И стал он нас расспрашивать о строении нашего царства. Мы же ему поведали всю правду, и как нашему государю покорились многие царства иноверных, а государь велел в тех царствах устроить святые церкви и

православие. А он воззрел на образ, перекрестился и, осмотрев печати царские, спросил нас: «Это благоверный, де, царь на сей печати на коне?» Мы же ему сказали: «На коне, государь». Он же встал с кресла и поклонился до земли образу Пречистой, а из глаз его обильно текли слезы. И сказал он: «Укрепи, Господи, православного царя!» Мы тоже, глядя на образ Пречистой, не могли удержаться от слез. И сказал он нам: «В наших, де, греческих книгах написано, что поднимется царь из восточной страны православной и подчинит ему Бог многие царства. И будет имя его славно от востока и до запада, как и древнего царя Александра Македонского. И сядет он на престоле града царствующего, а мы избавлены будем с его помощью от безбожных турок». Он велел нам сесть и стал нас спрашивать: «Как в вашей стране в святых церквах совершается божественная служба? И как живут христиане? И как церкви стоят?»

Мы же ему обо всем рассказали: «Есть, государь, у нашего государя в Московском царстве святых церквей бесчисленное множество, а служба в них божественная ведется повседневно не одновременно, а в разные часы. Есть, господин, церкви ружные, в которых служат в первом часу утреннюю божественную литургию, а в иных заутреню с полуночи, а литургию в третьем часу дня, а в иных заутреню перед зарей, а литургию на четвертом часу дня и на пятом, а вечернюю так же — и рано и поздно». Он же ответил нам: «Бог да благословит и укрепит вашего государя царя и царевичей и их царства; миром оградит давшего вам такую благодать — славить себя на земле непрестанно. Ангелы его славят непрестанно на небесах, а вы на земле».

И еще он нас спрашивает: «Есть ли в вашей земле — в государстве-царстве — иноверные: евреи, и бусурманы, и еретики, и копты, и армяне, и прочая их проклятая вера — ересь? Живут ли домами своими?» Мы же говорили ему: «Нет, владыко. У нашего государя в царстве жилья им нет. Не велит евреям государь ни торговать, ни впускать их в свою землю». Он же, встав с престола, сотворил молитву, поклонился до земли и сказал: «Бог да простит царя, государя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси и его царевичей Ивана и Феодора, которые отогнали беззаконных евреев, как волков, от стада Христова». И говорил нам: «Мы, братия, называемся христианами. А от них терпим великие трудности ради имени Христова». И начал он сильно плакать. Мы же, глядя на его пречестной лик, не могли удержаться от слез и молили его слезно, чтобы он перечислил свои христианские нужды нам на пользу. Он же, посидев немного, стал нам рассказывать с помощью переводчика Моисея, старца Саввина монастыря.

Был, де, в Египте царь мамелюкский, имя ему Гаврила, а неверием чистый турок; на христиан был особенно зол, злее нынешних турок. У него был брат иудей, очень умный. Удивительное же рассказывается о преславном папе александрийском Иоакиме и о его терпении.

Этот врач-иудей захотел погубить всех христиан в Египте. Он пришел к египетскому царю Гавриле: «Живут, царь, у тебя в Египте христиане, а не следует им на твоей земле жить, потому что они язычники, а вера их неправая. Вели им держаться своей турецкой веры или нашей иудейской». И сказал ему царь: «Я бы их до вечера отуречил, да есть у них старец патриарх, и называют его святым. И я его боюсь». И сказал ему иудей: «Не бойся ты, царь, этого старца, отдай его мне в руки. И я ему дам такого зелья — пол-ложки выпьет, и через полчаса он жив не будет». Царь же ему ответил: «Если ты того старца предашь смерти, то я всех христиан отуречу». И приказал царь патриарху быть у себя.

Патриарх же пришел к царю, и сказал ему врач-иудей: «Старче, оставь свою веру и прими турецкую веру или нашу иудейскую правую веру, а ваша христианская вера неправая».

Патриарх же отвечал царю: «Царь, мы ваши веры — турецкую и иудейскую — не хулим. А наша православная христианская вера правая, добрая». Иудей же сказал патриарху: «Это правда ли, что в ваших книгах написано, если кто и смертельное зелье выпьет, то не повредит оно им?» Патриарх же ответил: «Истинная правда». Иудей же сказал: «А если это вправду написано, можешь ли мое смертельное зелье выпить за свою веру?» Патриарх ответил: «Я готов умереть за Христа моего и за православную веру. Сразу давай что хочешь». Иудей же сказал царю: «Дай мне, царь, неделю сроку». А спор у них был перед царем в воскресенье. Царь приказал патриарху через неделю быть у него. Патриарх, придя к себе домой, созвал всех христиан. Он сказал им все — что у них был спор перед царем с врачом-иудеем о христианской вере и что ему предстоит выпить смертельное зелье из его рук. И сказал им патриарх: «Отцы и братия, помолитесь Господу Богу и пречистой его Матери, чтобы сохранили меня от беззаконного иудея; если же я умру за православную веру, то предстану раньше вас перед Богом и небесным царем и умолю о вас небесного царя, и вы все сугубые примете венцы из рук Господних. А если и муки примете, то станете новыми страдальцами в нынешнем роде. Но не думайте, братие, отступить от православной веры и смените скорбь мою на радость».

Они же пали к ногам его, говоря со слезами: «Владыко, не оставь нас, сделай так, чтобы и мы ту смертную чашу пили, которую тебе дадут пить. Не думай, владыко, что мы отречемся от истинной веры; если ты умрешь, ни один из нас не уйдет с царского двора, не вкусив смерти». И, придя к себе домой, затворились они на всю неделю и не выходили из домов своих, молясь Богу со слезами.

Патриарх же в посте пребывал всю неделю и бодрствовал. И когда настал день Воскресения Христова, патриарх пошел к заутрене в храм чудотворца Николая, и встал на своем обычном месте, и скорбел о том, что ему пить зелье отравное, и был в смятении великом. Во время девятой песни он стоял, опершись о посох, и, слегка задремав, увидел во сне, как из алтаря вышла жена в белых ризах и с нею двое юношей. Жена подошла к патриарху и сказала ему: «Старче, дерзай, не бойся, я с тобою». Он же взгляделся и увидел перед собою священника, стоящего с кадилом. Тогда он подошел к иконе Пречистой Богородицы и поклонился до земли со слезами, славя Бога. И сразу оставила его скорбь, и пришла ему на сердце радость великая. И, отстояв заутреню, он отслужил сам божественную литургию и причастился божественных тайн. И многие христиане, мужчины и женщины, причащались из его рук и готовились вместе с патриархом к смертному часу. Патриарх же благословил их своими руками и прослезился перед ними, умоляя их, чтобы они не отрекались от истинного Бога. Они же со слезами и с великим плачем целовали его и обещали вместе с ним испить смертную чашу и кровь свою за Христа пролить.

Патриарх же радости исполнился и предстал перед царем на смертный час во всей своей святительской одежде. Христиане же пошли с ним, мужчины, и женщины, и младенцы. А расстояние от церкви святого Николы до царского двора три версты. Много же народу пошло вслед за ними: турки, арабы, латыняне, копты, марониты, ариане, несториане, яковиты, тетродиты и всяких вер люди, которые хотели видеть, что будет с христианами. Патриарх же с христианами пришел к царю в палату. В палате было много людей — паши и санджаки и тот окаянный иудей. А кубок стоял на окне, полный отравного зелья. Патриарх вошел в палату, поклонился троекратно на восток и сказал царю: «Вели подать повеленное тобою. Я готов за Христа моего выпить чашу смертную». Царь же сказал ему: «Старче, не с нами у тебя было прение о вере. И не мы тебе даем ту чашу пить». Иудей же, взяв кубок, полный зелья отравного, пенящегося вёрхом, принес патриарху. И сказал он

патриарху: «Возьми эту чашу и выпей. Если будет вера ваша правая, то ты будешь цел и невредим. А если неправая, то ты смерть вкусишь».

Святейший же патриарх взял чашу, и прослезился в тот час, и сотворил молитву; и, перекрестив чашу, дунул на нее, и тотчас пропала пена, и появилось в чаше красное вино. Христиане же на царском дворе вопили со слезами: «Владыко, помилуй род христианский!» И стали взывать: «Господи, помилуй!» И выпил патриарх чашу до дна, и показалось ему вино сладким, хорошим. И был он цел и невредим. И сказал патриарх царю: «Вели мне подать немного воды. Царь приказал ему дать воды. Лицо же его осветилось — как солнце. Все стали дивиться красоте лица его. И принесли ему воду. А он влил воду в кубок и, взболтав ее, принес иудею и сказал ему: «Я от твоей доброй веры пил смертное зелье, а ты от моей от недоброй веры испей воду». Но иудей не хотел пить. Тогда патриарх сказал: «О царь, рассуди меня с иудеем. Я из его рук пил зелье, которое он делал всю неделю. А я перед тобою воду влил — не зелье». Тут же стояло много народу, и все они закричали на иудея. И царь ему приказал пить. И выпил он воды той немного, и вот стало тело его пухнуть. Он побежал из палаты в дом свой. А царь послал за ним янычара посмотреть, что с ним будет. И через полчаса пришел к царю янычар и сказал: «Царь, окаянный иудей мучительно умер: лопнула его утроба и выпала». А царь сказал: «Старец, проси у меня что хочешь, но не гневайся на меня. Не я тебе то зелье давал; а кто его тебе давал, тот и погиб». Патриарх же ответил: «Дай мне, царь, тех христиан, которые в Египте живут, чтоб я ими ведал и их судил, и чтобы за ними стражники твои не ходили и не продавали их».

Царь отдал ему христиан и грамоту ему отдал. И вот он пошел от царя. Христиане понесли его на своих руках, славя Бога, и устроили богатую и честную трапезу для странников и убогих. А турки с тех пор стали его почитать и очень бояться. Когда же святейший патриарх пришел в свою келью, у него от того лютого зелья выпали зубы один за другим, без боли. Старец же пек ему повседневно опресноки и мягкий белый хлеб, тем его и кормили. И после того злого зелья он был в Египте патриархом 16 лет.

Но вот к Египту пришел с войском царь Сулейман турецкий из Царьграда и захватил Египет в 7022 <1514>-м году, и того царя Гаврилу захватил, и приказал его повесить в царском одеянии на железных воротах в конце большого торгового.

А мы слышали о святом патриархе, что он был на патриаршестве восемьдесят пять лет и что он постриженник Синайского монастыря. В этом монастыре он был двенадцать лет, а в Иерусалиме у Гроба Господня служил три года.

Удивительное же нам поведал святой патриарх о церкви святого Николы, что в Египте. Тот же царь мамелюкский Гаврила незаконный приказал отнять у патриарха церковь и переделать ее в баню для себя. Патриарх стал горевать и помолился с христианами в церкви святого Николы. В ту же ночь явился царю святой Никола и, взяв его рукой за горло, стиснул и сказал ему: «Почему ты приказал в моем доме баню устроить? Если ты не велишь мой дом отдать христианам, тогда в следующую ночь приду и погублю тебя». И тотчас послал царь к людям своим и не велел трогать ту церковь, и отдал ее патриарху. И патриарх служит в той церкви и донныне.

А нам приказал патриарх ехать с ним в Каир. А до Каира три версты. И пришли мы в Каир с патриархом. В Каире большая церковь святого страстотерпца Георгия, девичий монастырь. А в церкви с левой стороны, за решеткой за медной, написан образ Георгия чудотворца. Много же знамений и исцелений бывает от этого образа; а исцеляет не только христиан, но и турок, и арабов, и латынян. А другая церковь Пречистой Богородицы. И

еще были церкви в Каире христианские: святых мучеников Сергия и Вакха, да Успения Пречистой Богородицы, да святой мученицы Варвары. А ныне теми церквами владеют еретики — копты. И в церквах у них иконы и алтарь есть. А крещения у них нет, обрезаются по старому закону. А Каир ныне пуст, живет в нем немного старых египтян, цыган; а турки и христиане не живут. А город был каменный, да развалился, только одни ворота стоят целые; в те ворота въехала из Иерусалима Богородица с Христом и с Иосифом.

В Каире мы пробыли с патриархом четыре дня. И оттуда пошли в монастырь святого Арсения, который учил грамоте царских детей Аркадия и Онория; а до того монастыря семь верст. Монастырь стоит на высокой каменной горе, а в той горе каменные пещеры, в которых живут старцы-отшельники. Монастырь был очень красив, кельи облицованы камнем. А ныне он опустошен арабами.

И оттуда пришли в Египет. И божественную литургию у святого Николы со всем собором служил сам патриарх. И после отпуста он не велел ни одному человеку выходить вон. И сел у царских дверей справа, лицом к людям, в полном облачении. И стал им говорить, что идет в Синай молить Бога за государя царя. Люди же все поклонились ему до земли и стали его умолять: «Владыко, не оставь нас, приди к нам с Синайской горы, не останься там». Он же дал свое слово.

И мы пошли с ним на Синайскую гору в субботу на Дмитриев день. И наняли мы верблюдов до Синайской горы, а за наем дали по золотому с человека. А на верблюде по два человека по сторонам, и корм свой, и воду в мешках кожаных на верблюдов погрузили, более десяти пудов весу, а хлеба сухого по гентарю на человека. А гентарь тянет три пуда. А ходу до Синайской горы двенадцать дней, и вся дорога от Египта до Синайской горы идет пустыней. А пустыни у них не наши: в их пустынях нет ни лесу, ни травы, ни людей, ни воды. И шли мы пустынею три дня, не видели ничего, только один песок да камни. На четвертый день увидели мы Красное море — то место, где Моисей провел шестьсот тысяч израильтян сквозь Красное море, а фараона утопил в пучине со всеми воинами его. На поверхности же воды через все море видно двенадцать дорог морских. Море то все синее, а дороги те белые на воде лежат — издали видно. А как подойдешь к морю, море то, как обычно, все лазоревое. Арабы кормят верблюдов сухими бобами, а воды им не дают по три дня.

Удивительное же рассказывают о переходе сынов израилевых через Красное море. Когда ангел Господень велел вывести израильтян из Египта, Моисей с ними пошел за реку Нил; днем их закрывали облака, а ночью им светил огненный столп, и шел он перед ними. Они же шли день и ночь без сна. О том пророк Давид написал: «И не было в коленах их болящего». И пришли они к Красному морю и возроптали на Моисея, говоря: «Зачем ты привел нас из Египта в пустыню? Разве не было гробов для нас в Египте? Не лучше было бы, если бы мы работали на египтян? А теперь где мы можем укрыться от сильной руки фараоновой? Зачем ты привел нас к морю?» Моисей же сказал им: «Смолкните и не ропщите: Бог повелел вас вывести из Египта, Он и спасет вас». Тут же на берегу моря есть высокая гора. Моисей поднялся на гору помолиться, и показал ему ангел дерево, и из того дерева велел вырезать жезл, и тем жезлом ударить поперек моря. И расступится море, и пройдут сыны израилевы сквозь море. А фараон придет следом. И прославится Бог израилев через фараона и воинов его.

Моисей же спустился с горы и повелел им разделиться на двенадцать колен. И пришел к морю, и ударил жезлом поперек моря, и сказал: «Во имя Господа Бога Саваофа да расступится море, да пройдут сыны израилевы посуху». И вот расступилось море. И

ударил Моисей двенадцать раз по морю, и стало двенадцать дорог, и пошли сыны израилены каждое колено своей дорогой, а фараон пришел вслед и погнался за ними. И вышли сыны израилены на берег моря, а фараон был посреди моря. Моисей же простер руку и ударил жезлом в длину моря: «Во имя Господа Бога Саваофа да сомкнется вода!» И тотчас сомкнулась вода. Моисей начертал на море прообраз креста Господня; фараон же утонул в море со всеми своими воинами, а люди фараоновы обратились в рыб; у тех рыб головы человеческие, а туловища у них нет, только одна голова; зубы и нос человецьи, а где были уши, тут перья; а где затылок, тут стал хвост; и не ест их никто. И кони и оружие обратились рыбами; на конских рыбах шерсть конская, и кожа у них толщиной в палец. А когда их ловят, то кожу снимают, а тело бросают. Из кожи арабы делают подошвы с мехом, а воды не выносят, а в сухое время на год хватает. А где вышли сыны израилены из моря, то от того места в пяти верстах двенадцать источников. В том месте сыны израилены возроптали на Моисея за то, что воды нет и пить им нечего. Моисей же повелел им встать каждому своим коленом, и они встали почти на двух верстах. Пришел Моисей в станы их и ударил жезлом, и закипела вода — двенадцать источников. Удивительное <говорят> об этих источниках. Гора высокая была из песка: песку много — по колено погружается нога в песок. И на этой горе те источники кипят, брызгая вверх, а протекши сажени с две, опять уходят в землю. И тут мы себе воды набрали, Потом шли еще три дня и поднялись на высокую гору. На этой горе сыны израилены опять возроптали на Моисея. Моисей же ударил жезлом в гору, и потекла из горы река. Об этой реке пророк написал: «Даст им Бог в безводных <местах> реки». И оттуда шли три дня и нашли на дороге большой камень: из того камня Моисей вывел двенадцать источников, И теперь видно, откуда шла вода.

И вот пришли мы к пречестному монастырю Синайской горы. Игумен же синайский с братиею вышли с крестами за полверсты от монастыря, они встретили нас, а патриарх вынесли серебряный крест на блюде. Патриарх же тем крестом благословил игумена и всю братию. Игумен подошел к нам и целовал нас, обнимая и захлебываясь слезами и говоря: «Мы благодарим Бога, сподобившего нас видеть посланников православного царя». Потом стали нас обнимать и целовать братья с великою любовью, проливая слезы от радости. Не могли они удержаться от слез. Потом вошли в церковь. Мы будто в рай вошли: церковь Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа весьма красива, вымощена мрамором, белым и синим; резьба по камню мелкая, расцвечена разными красками и устлана узорами будто камчатными. Мы же поклонились святым иконам и пошли вправо от алтаря. И тут против престола около стены стоят мощи святой мученицы Екатерины. Гробница сделана из белого мрамора, на гробнице же резаны искусные узоры; в длину она около сажени. И мы, помолившись святой Екатерине, покрыли те мощи покровом царя государя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича. А покров с нами был послан, бархатный с золотым шитьем. В той же церкви за алтарем придел над Неопалимою Купиною, где Моисей видел Богородицу с младенцем, стоящую в огне и не опаляемую. В этот придел — в Неопалимую Купину — вход со двора, а на дверях вырезаны двенадцать праздников. А ходят люди в ту церковь в великой чистоте, в выстиранной или в новой одежде. А придя к церковным дверям, сапоги или башмаки снимают, да ноги вымыв, входят босиком или в суконных чулках. И мы, грешные, вошли помолиться и увидели то место, покрытое квадратной мраморной плитой в полсажени. Надтой плитой поставлен престол и совершается божественная служба. В нее вделаны два больших камня, которые опалила Неопалимая Купина. Эти камни патриарх целовал, близко к ним не подходил, а, став поодаль, лег на землю, <так>, чтобы можно было достать и поцеловать; и мы, грешные, целовали. А над Купиною горят три лампы неугасимые. Справа написано на полотне Моисеево деяние. При выходе из того придела прямо в стене замурованы мощи святых отцов, избивенных в Синае и в Раифе. А в большой церкви двенадцать столпов, высеченных из дикого камня, а паникадил пятьдесят. Всех же церквей и приделов в Синайском монастыре двадцать пять. Монастырь стоит между двух

гор; келий в нем триста, все каменные, и ограда каменная; на воротах ограды стоят две пушки. А братья девяносто человек, потому так мало, что они терпят великое насилие от безбожных арабов. Тех арабов в количестве четырехсот человек прислал сюда в монастырь благочестивый царь Юстиниан. А теперь их стало очень много, и живут около монастыря по пустыням; приходят в монастырь по двести человек каждый день, и все берут с монастыря оброк: муку пшеничную, и соль, и масло, и лук. А если им старцы корму не дадут, тогда они старцев побивают камнями за монастырем. Мы видели великое насилие от тех арабов над старцами синайскими, как только могут терпеть от них! И видели мы много старцев-подвижников. Посреди монастыря колодец, а около того колодца растет шиповник, который посадил Моисей. Этот колодец питает водою весь монастырь. На левой стороне против колодца стоит церковь Василия Кесарийского, а ныне турки в ней устроили себе мечеть.

И были мы в монастыре четыре дня. И пошли с патриархом на самую святую вершину Синайской горы. Вышли мы, отслужив раннюю обедню, а туда, на святую вершину, к ночи взошли: очень труден подъем — все время в гору по камням. По пути мы видели источник, который синайский старец вывел из каменной горы молитвою. Эта вода и ныне идет по каменным трубам, орошает монастырский сад. По дороге от этого места стоят три церкви: церковь святого Ильи пророка, тут он и постился сорок дней, а пищу ему вороны приносили, да церковь Елисея пророка, да церковь святой мученицы Марины. А по дороге от этого места, не доходя святой вершины, находится большая скала; когда Илья пророк поднялся на святую вершину, ангел той скалой заложил дорогу, и из-за этой скалы весьма тяжек подъем на святую вершину — гора пошла круто вверх. И устроена каменная лестница. Тут патриарха поднял на своих плечах старец синайский Малахия: сам патриарх не мог подняться. И вот мы поднялись на святую вершину. Тут стоит церковь Преображения Господня. В той церкви возле алтаря лежит большой камень. Когда Бог сошел к Моисею на святую вершину, Моисей встал около этого камня, и камень закрыл собой Моисея с головой. И, стоя за тем камнем, говорил Моисей с Богом и принял от Бога закон — каменные скрижали, написанные рукой Божьей. Тут же мы видели каменную пещеру, где Моисей постился сорок дней. Тут же и арабская мечеть на святой вершине. И пробыли мы тут день да ночь. Гора же та очень высока, облака небесные ходят по воздуху ниже горы и трутся о горы. А ветер на горе очень сильный и стужа лютая.

И пошли мы с горы, и пробыли по дороге ночь в монастыре, где Илья постился. А на святой вершине патриарх и игумен синайский собором отслужили божественную литургию. В Синайском монастыре мы пробыли три дня и пошли на гору святой мученицы Екатерины. Если немного отойти от монастыря, тут лежат два камня порознь; на них Моисей водрузил на столпе медного змия. Тут и жилище было сынам израилевым. Пройдя еще немного, мы увидели тот горн, высеченный из двух камней, в котором израильтяне отливали голову тельца. Пришли мы в сад монастырский, а в монастыре две церкви: Сорока мучеников и преподобного отца нашего Антония Великого. Сад большой и очень хороший, и много в нем всяких плодов.

Синайская гора — по одну сторону, а по другую сторону — гора святой мученицы Екатерины. Тут мы пробыли ночь; утром рано, за три часа до рассвета, мы пошли с фонарями к святой мученице Екатерине. И трудно очень идти, горы все каменные. На гору мы поднялись к полудню. А ходу от Синайской горы до Екатериной горы пять поприщ. На верху горы мы видели место, где триста лет лежат мощи святой мученицы Екатерины, и на том месте были, где два ангела стерегли ее тело. И тут мы помолились святому месту. И оттуда мы пошли с горы и зашли в другой сад монастырский. В том монастыре церковь святых апостолов Петра и Павла, и кельи стоят, и старцы живут. В Синайский монастырь мы пришли на праздник святой мученицы Екатерины. И после всенощной патриарх,

распечатав гробницу с мощами, сам целовал святые мощи, и мы, грешные и недостойные, целовали голову святой Екатерины. Святые же ее мощи, нагие, собраны в гробнице и покрыты тканью хлопчатую, да сверх их решетка железная наложена. От мощей святых и от ткани той благоухание исходит благовонное. И частицы той ткани патриарх давал христианам для почитания, а частицы мощей святой никому не дают, потому что не велела святая свои мощи никому трогать. И так отметили честной праздник. Утром мы пошли туда, где постился Иоанн Лествичник сорок лет, а на пути видели пещеру на Синайской горе, куда приходил Иоанн Лествичник и видел больше грешников, кающихся со слезами, чем безгрешных. От пещеры мы пошли на место Иоанна Лествичника и видели его жилище под скалой — тесное и темное; это место от монастыря около четырех верст. Оттуда и видел святой Иоанн на святой вершине лестницу до небес и по ней восходящих иноков, и как их берет сам Господь Иисус Христос за руку. А всего пробыли мы в Синайском монастыре двадцать дней. И видели в Синайском монастыре птиц рябых, вроде наших кур. Тех птиц Бог послал с небес израильтянам, когда они жили в Синайской пустыне сорок лет. О том написал пророк Давид: «Птицы пернатые упали на стан их, около жилищ их, и они ели и насытились». И нет мяса вкуснее тех птиц.

И в конце дня патриарх показал нам мощи: животворящее древо — цветом некрасивое, темное, как бы серое; немного его, с небольшой черенок. Потом он показал нам три кости рук от мощей святых бессеребренников Козьмы и Дамиана, да часть руки святого апостола Луки, да осколок от камня, который был привален к Гробу Господню. И иные мощи, но не знаем, какого святого, — подпись стерлась. Монастырь Синайский между двух гор каменных, и его не видно за полверсты ниоткуда. Из Синайского монастыря, сев на верблюдов, мы направились с патриархом к Раифе и с Божьей помощью дошли за три дня до Раифы. Дорога очень трудная, между каменных гор, кроме как на верблюдах, никак не возможно пройти; по той дороге водных источников очень много. Мы пришли в Раифу в день памяти святого пророка Наума. В Раифе греков нет, живут сирийцы — вера православная, христианская. В Раифе находится пристань для индийских кораблей. От Раифы до Индии три месяца морского пути. Раифа — каменный город, небольшой, турок в нем нет, только христиане живут, один санджак, да десять янычаров.

Корабли в Раифе на Красном море сделаны без железных гвоздей, скреплены веревками и обмазаны горячей серой, потому что в море много камня магнита, и все горы из магнитного камня — железо к себе притягивают. Мы видели, как индийские купцы на кораблях привезли двух индийских волов, оба черные; а между рогами у них — сядет человек; в длину рог пяти пядей, а в обхват рог трех пядей. В Раифе церковь Успения Пречистой Богородицы, а стоит на монастырском подворье Синайского монастыря. В той церкви лежат мощи святой мученицы Марины, весьма чудесные. Мы поклонились святым мощам и пошли туда, где Моисей посадил семьдесят фиников и где Бог даровал ему двенадцать источников, текущих из каменных гор; вода в них горячая течет. А повыше тех источников течет источник, его название Мерра, — в нем вода холодная, только очень горькая. А от тех фиников, от корней, расплодился большой сад. От Раифы до Моисеевых источников и фиников две версты, а до монастыря Ивана Раифского три версты; монастырь этот разрушен до основания погаными турками.

Из Раифы мы пошли в Египет. От Раифы до Египта мы шли десять дней, и по дороге, во время стоянки на ночлеге, на нас хотели напасть беззаконные арабы-пустынники. Бог, не желая оскорбить святого патриарха, внушил им страх: всю ночь простояли возле нас, а напасть не посмели. Утром мы отошли от них без помех.

А вот сказание и перечень поклонных мест святого и Богом соблюдаемого города Иерусалима, где ходил Господь наш Иисус Христос пречистыми своими стопами со

своими учениками и апостолами; об этом мы, грешные, пишем для сведения верующим во истинного Бога Господа нашего Иисуса Христа, сколько имеется поклонных мест в святом городе Иерусалиме и в окрестных местах.

Город Иерусалим стоит на восток, на горе Сион, окружность его три версты. Внутри города стоит большая церковь, где Гроб Господень, — Воскресения Христова, — каменная, в длину сто двадцать сажень, а в ширину — пятьдесят сажень. А Гроб Господень из белого мрамора. Длина Гроба Господня девять пядей, а в ширину пять пядей. Стоит Гроб Господень посреди большой церкви, верх церкви не покрыт — разбит погаными турками. Над самым Гробом Господним стоит малая церковь каменная, разделенная надвое, а снаружи и внутри малая церковь облицована мраморными узорчатыми плитами. А Гроб Господень стоит в той церкви направо, примурован к стене; он покрыт мраморною плитою. Этот Гроб сделала царица Елена. Под тем Гробом еще Гроб, где Господь наш Иисус Христос был положен Иосифом и Никодимом; из него же он воскрес и нам даровал вечную жизнь. К тому Гробу нельзя подойти никому, и вход в него под землю заложен камнями. А перед вратами святого Гроба в приделе лежит камень, который отвалил ангел от дверей Гроба, и над ним стоят четыре лампы; и от того камня немного осталось — разобран на мощи. А внутри над самым святым Гробом горят сорок три лампы, день и ночь. А в те лампы масло наливает казначей Гроба Господня по имени Галеил; а дают ему на масло православные христиане и из разных стран присылают. Около малой церкви Гроба Господня шесть лампад. А над церковными вратами одна лампада. Перед малой церковью Гроба Господня стоит престол болгарский, и над ним лампада горит день и ночь. А за тем престолом стоит церковь греческая, покрытая, длина той церкви десять сажень, ширина — пять сажень, а посреди той церкви пуп всей земли, покрыт камнем. А налево от той церкви стоит темница, куда посажен был беззаконнейшими иудеями Господь наш Иисус Христос, нашего ради спасения. И там горят четыре лампы день и ночь. А позади греческой церкви выкопана в земле глубокая лестница, в тридцать ступеней. И там стоит церковь во имя царя Константина и матери его Елены, в ней горят три лампы. А позади той церкви еще одна лестница выкопана в земле, в семь ступеней. Там обрела царица Елена крест Христов. Над тем местом семь лампад христианских, да одна лампада латинская. И в том месте ветер сильный дует. А за алтарем греческой церкви придел, в нем стоит столб из белого мрамора, к нему был привязан Господь наш Иисус Христос беззаконнейшими иудеями нашего ради спасения. А другая часть того столба в Царь-граде в церкви Успения пречистой Богородицы. А третья часть его в Риме в великой церкви святого апостола Петра.

А справа от греческой церкви гора святая Голгофа, где распяли беззаконнейшие иудеи Господа Бога нашего Иисуса Христа, и когда, подойдя, один из воинов вонзил копьё ему в ребра, то сразу выступила кровь и вода. И пролилась кровь на гору на Голгофу, и тут треснула каменная гора от той крови, и омочила кровь Господа Бога нашего Иисуса Христа Адамову голову; в той горе Голгофе была погребена голова Адама, а ныне то место зовется Лобным. И на той святой горе стоит тридцать лампад, а горят день и ночь беспрестанно.

И повелением благоверного и христоролюбивого царя государя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича мы поставили неугасимую лампаду и приказали игумену иверскому да казначею Галеилу ту лампаду беречь и наливать масло. А горой той святой Голгофой владеет Иверская земля, православные христиане, греческой веры, а язык у них свой. А служит на святой Голгофе иверский игумен с христианами, а престол на святой Голгофе во имя Распятия Господа Бога нашего Иисуса Христа. А подъем на святую гору Голгофу по лестнице в тринадцать ступеней. При спуске с лестницы налево под горою стоит небольшая церковь, а в ней гроб Мельхиседека. В той церкви видна расселина от вершины

святой Голгофы, что от крови Господа нашего Иисуса Христа расступилась, и видно ее и доньне. А где на святой Голгофе крест стоял, тут гора пробита на полусажень, и то место серебром обложено. А где пролилась кровь Господа нашего Иисуса Христа на гору, и тут расселина с полсажени, широкая, а глубины ее никто не может знать, и это место серебром обложено. А против церковных дверей, около шести саженей, сняли со креста Господа нашего Иисуса Христа; на том месте его положили и обвили плащаницею. И то место покрыто плитою мраморною, и тут горят восемь лампад, день и ночь, от разных вер. И с этого камня положили тело Иисусово в гроб, который был высечен из камня.

А церковь большая и престол греческий, основана царем Константином и матерью его Еленой, она огорожена четырьмя стенами; а столбов в ней триста, из мрамора, а владеет церковью великою патриарх Герман с христианами, и престол древний. И туда, где патриарх служит, еретики не входят. А по обе стороны великой церкви стоят престолы еретические, приделанные к стенам. А еретики, называющиеся христианами, суть: латиняне, абиссинцы, копты, армяне, несториане, ариане, яковиты, тетродиты, марониты и прочие их проклятые ереси. А престолов еретических восемь. В великой церкви двое врат, одни замурованы погаными турками, а другие отворяются, и стоят запечатанные турками. И у тех врат стоит восемь столбов мраморных, пять белых, а три аспидных темно-зеленых; у врат приделано к церковной стене место высокое и позолоченное. Тут царица Елена иудеев судила.

И в день великой субботы поутру пришел патриарх и мы, грешные, с ним к вратам великой церкви. Тут же много стояло народу, пришедшего из дальних стран на поклонение Гробу Христову. Патриарх же остановился перед церковью, тут же и мы, грешные, с мытниками и янычарами стояли. И пришли турки и распечатали церковные врата, и вошли патриарх с христианами в церковь. А христиане это: греки, сирийцы, сербы, иверы, русь, арнаниты, валахи. А взимают поганые турки со всякого христианина по четыре золотых угорских, и тогда и в церковь впускают. И мы, грешные, дали по четыре золотых с человека. А которому дать нечего, того и в церковь не впускают. А с латинян, фрягов и с еретиков по десять золотых, а золотой по двадцати алтын; только с монахов податей не берут.

В тот субботний день приходит много христиан из многих земель, странников и убогих, не имеющих что дать поганым туркам. И они подходят к вратам великой церкви, а на вратах небольшие оконца. И вот они смотрят в оконца в церковь и с горьким плачем просят, чтобы их пустили внутрь церкви увидеть Гроб Христа, Бога нашего, и сошествие Святого Духа с небес на Гроб Господень. И когда вошел в церковь патриарх, и мы с ним вошли и приблизились к Гробу Господню, и помолились у святого Гроба и престола Воскресения Христова. И пришли мы туда, где лежит камень, который ангел отвалил от Гроба Господня. А над ним стоят иконы. И мы, недостойные, помолвившись, целовали тот камень. И вошли внутрь придела ко Гробу Господню. Тут мы радости и трепета исполнились, когда увидели живоносный Гроб избавителя нашего. И стали мы дивиться Божию человеколюбию, как он нас, грешных, допустил до святого града Иерусалима, чтобы видеть и целовать гроб Божия человеколюбия, а ведь многие неприятности бывают на пути от незаконных турок и арабов, на море и на суше.

В ту же Великую субботу с утра приходят поганые турки с погаными санджаками и янычарами в церковь ко Гробу Господню и гасят все лампы в церкви, и в ее приделах, и над самим Гробом Господним, ни одной не оставят. Обычай же у патриарха, чтобы и в домах своих в Великий четверг гасили огонь. И сходит огонь с небес на Гроб Господень, и от этого огня берут в свои дома и держат тот огонь весь год. Но дела при нем никакого не делают, только Богу молятся — до праздника Воскресения Христова. Турки же малую

церковь запечатывают своей печатью и стражу ставят у дверей гробницы. Патриарху же с христианами предоставляют престол в старой трапезной. Патриарх с христианами идет в свою церковь Воскресения Христова, и там они Богу молятся со слезами и ждут Божьего знамения с небес.

И за два часа до вечера через открытое место солнце осветило великую церковь. И упал солнечный луч на крест, что внутри церкви, — крест на гробнице, над Гробом Господним. И увидев то божественное знамение — луч, — патриарх начал в своей церкви вечерню петь с христианами и, не прочитав паремии, взял Евангелие, крест и хоругвь и свечу без огня, и пошел патриарх в боковые двери от престола старой трапезной ко Гробу Господню. А за ним пошли иноки и христиане, а за ними — игумен венецианский Внифантий, который живет на горе Сионе с фрягами, а за ним армянский игумен с армянами, а затем пошли копты, и абиссинцы, и марониты, и несториане, и остальные проклятые еретики со своими попами. Патриарх с христианами пришел ко Гробу Господню, и обошли они гробницу трижды, молясь Богу со слезами. Иноки, инокини и все христиане плакали горько и взывали к Богу: «Господи, сподоби нас видеть благодать твоего человеколюбия и не оставь нас, сирых». Патриарх же, обходя вокруг Гроба Господня, пел стихиру: «Днесь ад стена вопиет». Мы же все плакали, не могли удержаться от слез. И патриарх подошел к дверям гробницы и велел туркам распечатать ее. Затем он отворил двери гробницы, и все люди увидели Божию благодать, сошедшую с небес на Гроб Господень в огненном образе, — по Гробу Господню, по мраморной доске, ходил огонь всех цветов, подобный молнии небесной. А лампы все над гробом были без огня. Как увидели все люди такое Божие человеколюбие, они возрадовались радостью великою, и многие плакали от радости. А латинский игумен Внифантий захотел прежде нашего патриарха войти в гробницу. Но старец Синайского монастыря, священник Иосиф, и Малахия, и старец Моисей из Саввина монастыря схватили его и не дали ему раньше войти в гробницу. Наш же патриарх Герман вошел в гробницу один со многими свечами в обеих руках и приблизился ко Гробу Господню, держа свечи в руках подле самого Гроба Господня. И сошел огонь с Гроба Господня, как молния, на руки патриарха и на свечи, что в руках его, перед всеми людьми. И нас, грешных, удостоил Господь Бог видеть: в это же время христианская лампада на Гробе загорелась посреди всех лампад, а из других ни одна лампада не загорелась. Патриарх же вышел из гробницы, неся в обеих руках горящие свечи, целые пучки свеч, вынес огонь ко вратам гробницы. И встал патриарх вблизи на высоком месте, а вокруг него стоял народ, и из его рук брали христиане огонь и зажигали свечи и лампы по всей великой церкви и по святым местам. И разнесли тот огонь по своим домам; и поддерживают его в домах своих весь год. Огонь от горящих свечей, которые патриарх вынес от Гроба Господня в патриаршеских руках, не жжет человеческих рук. А когда христиане возьмут из его, патриарха, рук свечи, то уже в руках христиан огонь станет, как и всякий огонь, — все от него горит. А латыняне и все еретики, игумены их и попы берут огонь на Гробе Господнем от христианской лампы и свои зажигают лампы. И сразу пошел патриарх с христианами по святым местам, со слезами молясь Богу, и потом в свою церковь Воскресения Христова. После этого начинают читать паремии, а затем петь по порядку божественную литургию, во втором часу ночи. Отпев божественную литургию, сел патриарх с христианами и вкусил немного хлеба и вина. И мы, грешные, вкусили немного хлеба и вина. А потом начали читать апостольские Деяния. Великая церковь построена очень искусно и вся украшена мозаикой и расписана золотом. А Гроб Господень не покрыт, на нем доска мраморная.

Удивительное же мы видели в ту ночь: беснующихся в церкви еретиков, — великое их неистовство. Ходят армяне: один главный их поп, пред их владыкою, звонит в колокольчик. А дьякон ходит пред их владыкою, пятась назад, с кадиллом, и кадит владыку. А ариане, как и абиссинцы, ходят вокруг Гроба Господня, и есть у них четыре бубна

больших, и ходят вокруг Гроба, и бьют в те бубны, и скачут, и пляшут, как скоморохи, а иные пятаются и скачут. И мы дивились человеколюбию Божию, как он терпит, — нельзя человеку и на торжище видеть такого беззакония, а мы видели беснующихся в церкви около Гроба Господня.

И сразу перед самым рассветом облачился патриарх в святительскую одежду, и исполнилась вся церковь благовонием смирны и фимиама. Взял патриарх крест и возгласил велегласно: «Христос воскрес!» — И всю по порядку пропел заутреню. И по всем церквам и по приделам начинают заутреню петь, а по времени и литургию. И празднуют всю неделю, радуясь духовно, а не телесно, не пьянством. А церковь поганые турки опять запрут, замкнут и запечатают. Патриарх же оставляет внутри великой церкви черного священника, да дьякона, да пономаря, чтобы не оставался престол старой трапезной без божественного пения. А пищу им приносят от патриарха и подают в церковь в оконце, что в дверях церковных. А у церкви тут за стеной приделана патриаршеская келья, и в этой-то келье те люди и пребывают безвыходно. А на правой стороне при выходе из церкви стоит колокольня, большая и высокая, на четырех столбах каменных. Под той же колокольней стоят три церкви: одна — Воскресения Христова, другая — Иакова, брата Господня, а третья — святых Сорока мучеников севастиийских. И к тем церквам приделан патриаршеский дом. Патриарх приходит в те церкви к божественному пению. На той же стороне стоит темница для заключения повинных. В той темнице сидел великий пророк Иоанн Предтеча, заключенный беззаконнейшим царем Иродом.

А если пройти немного от великой церкви на восток, тут стоит церковь дивная, по-еврейски зовется Еро, а по-русски Святая Святых. Когда был создан святой город Иерусалим по повелению иудейского царя Салима, то соединили церковное имя с именем царским и нарекли тот град Иерусалим. А ту церковь строил с иудеями Соломон по ангельскому повелению сорок пять лет. И когда пришел Господь Иисус Христос в святой град Иерусалим, то сказал им на сб-рище перед той церковью о храме тела своего: «Я разрушу эту церковь, а через три дня заново построю ее». Иудеи же не поняли, что говорил им Господь наш, — не дано было свыше им понять это. И думали про себя иудеи: «Как он может разрушить эту церковь, а потом за три дня заново построить ее, когда мы ее строили сорок пять лет?» В этой церкви был заколот пророк Захария, между церковью и алтарем. В той же церкви праведный Симеон принял в свои руки Христа и сказал: «Ныне отпускаеши раба своего, Владыко, по глаголу твоему, с миром, так как видят очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех твоих людей, в назидание народам и во славу людей твоих и Израиля».

Поблизости от той же церкви на восток, у горы Елеонской, стоят затворенные высокие железные ворота старого города Иерусалима, не входит в них никто. В те ворота въехал из Вифании с Елеонской горы Господь наш Иисус Христос на молодом осле. Еврейские дети срезали древесные ветви и расстилали по пути от ворот и до церкви, распевая перед ним: «Благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних, царь Израилев». И приехал Господь наш к той церкви на молодом осле. Перед этой церковью лежит у врат камень дикий широкий, четверугольный. Господь наш въехал на тот камень, и ощутил камень Создателя своего, и стал под копытами осла мягким, как воск. И отпечатались следы осла на том камне на полпальца, видны и доныне. Из той же церкви Господь наш Иисус Христос изгнал торгующих, продававших овец, и голубей и птиц, опрокинул их столы и рассыпал монеты, и говорил им: «Не обращайтесь в дом купли дом молитвы, дом Отца моего». В эту церковь была введена пресвятая Богородица, когда ей было три года. Перед этой церковью у врат стоит небольшая церковка, а в ней мерило праведное, созданное мудрым царем Соломоном, будто весы: висят две большие черные железные чаши, на

железных цепях, и не ржавеют. <...>. Церковь же Святая Святых, созданная Соломоном, разбита до основания императором римским Титом. Одно осталось мерило праведное, не поврежденное ничем. А ныне на том месте поганые турки устроили свою мечеть, и христиане туда не входят, разве кто даст подарок янычарам, и они его пустят тайком, чтобы посмотрел мерило праведное. О той же церкви пророк Давид говорит: «Боже, пришли язычники в наследие твое, осквернили святой храм твой».

А слева от той церкви, под горой, дом святых праведных родителей Богородицы Иоакима и Анны; а в том доме церковь во имя их. А живут в том доме турки, а христиане приходят помолиться, и поганые турки берут с них подарки и тогда пускают в церковь. В том доме стоит дерево лавровое, на нем святая Анна видела птичье гнездо и молилась под ним. И то дерево стоит цело и до сего дня. Близ того места ров пророка Иеремии, куда он в грязь ввержен был возле городской стены. А от дома святых праведных Иоакима и Анны пройдя немного в гору, дом Пилата, в нем судили беззаконнейшие иудеи Господа нашего Иисуса Христа, судию всего мира. В этом доме и поныне суд, санджак судит горожан. И, пройдя от того дома немного, на другой стороне улицы, под гору, находится дом Анны и дом Каиафы, засыпанный землею. Когда Господа нашего Иисуса Христа распяли беззаконнейшие иудеи, то после распятия велели спрятать в горе крест Христа и крест разбойника, — предвидели, что будут розыски этих крестов и задумали по своему злоумышлению утаить святыню, но не смогли. Тогда велели на ту гору всем в городе землю и мусор сыпать, и засыпали ту гору землею. По воле Божией пришла из Царьграда царица Елена в Иерусалим на поиски честного креста и, придя, разузнала все о кресте Господнем. И приказала она ту гору расчистить, а землю ту насыпать на дом Анны и Каиафы, так засыпали их дома той землей.

А с западной стороны города у больших городских ворот, в которые входят из Египта и из Лидды, возле городской стены стоит дом пророка и царя Давида, а вокруг дома ров, как вокруг города, выкопан и облицован камнем; а через ров проложен каменный мост, а на мост из дома выходят большие ворота, как городские, а у тех ворот пушки стоят и стража выставлена. А христиан в тот дом не пускают, и стоят у того двора турки и янычары. А величиной тот дом, если мерить стрелой, пущенной из лука, — поперек две стрелы; а покоев в нем нет, только одна палата; из нее-то и видел Давид Вирсавию, омывающуюся в саду. А тот сад находится от дома Давида на расстоянии одной пущенной стрелы; и до сих пор он стоит цел и невредим; у палаты два окна, одно в приделе. И нас, грешных, удостоил Бог посетить тот дом и ту палату. О том доме гласит Священное Писание: «В доме Давидове страх велик, тут судятся все племена земные и народы». А теперь в том доме нет страха. Мы спросили об этом доме и о Священном Писании патриарха иерусалимского Софрония. И патриарх нам ответил: «Когда будет пришествие Сына Человеческого и суд над живыми и мертвыми, тогда в том доме все Священное Писание подтвердится». Близко от этого дома пересохший поток, проходивший у городской стены и у самого дома Давидова. Название этого потока Юдоль Плачевная, тут будет течь в день Страшного Суда огненная река.

### О горе Сионе

С южной стороны нынешнего города за стеною, внутри старого города, стоит высокая гора Сионская. Святой Сион — мать церквам, Божие жилище. На этой горе был дом — монастырь венецианского государя. А живут в нем игумен и монахи; содержали эту церковь венецианцы, а теперь этой церковью владеют турки.

На этой же горе был дом Зеведеев — отца Иоанна Богослова. В этом доме Иисус Христос сотворил тайную вечерю со своими учениками, и омыл им ноги, и окаянного Иуду не

презрел. В том же доме Иоанн Богослов возлег на грудь Христа. В том же доме Иоанна Богослова по распятии Господа нашего Иисуса Христа жила мать пречистая Богородица. Когда Иисус Христос висел на кресте, сказал он своей матери: «Жена, это сын твой», а потом сказал ученику: «Это мать твоя», — с этого времени приняли ее в тот дом.

На этой же горе явился Иисус Христос по воскресении своем ученикам, в то время как двери были закрыты, и показал свои ребра и Фому уверил. На этой же горе в том же доме было сошествие Святого Духа на святых учеников и апостолов. На той же горе собралась апостолы на преставление Божией матери. На той же горе гроб святого первомученика Стефана. На том же Сионе есть пещера, где царь Давид Псалтырь сложил, от этого места, на расстоянии брошенного камня, на том же Сионе, — отсек ангел Господень руки иудею, прикоснувшемуся ко гробу Пречистой Богородицы. А налево от великой церкви святого Сиона, на расстоянии пущенной из лука стрелы, Малая Галилея. Там впервые явился Христос по воскресении своем, восстав из мертвых. И те все святые места на Сионской горе.

### О монастырях

Внутри святого города Иерусалима семнадцать монастырей, стоят и до сих пор. А служба в них божественная совершается не во всех: многие опустошены погаными турками. Первый монастырь Пречистой Богородицы, честной ее Одигитрии. Второй монастырь святого Иоанна Предтечи. Третий монастырь святого великомученика Георгия. Четвертый монастырь святого великомученика Димитрия. Пятый монастырь святого архистратига Михаила, в том монастыре живут старцы Саввина монастыря. В том монастыре была трапезная каменная, большая и высокая, а поганые турки у этой трапезной разбили верх, и много лет она стояла без верха. Старцы же Саввина монастыря, Моисей и Кестодий, пришли в Московское царство к царю и великому князю всея Руси Ивану Васильевичу и к святейшему митрополиту Макарию и молили царя, чтобы он дал им, убогим, <помощь> на сооружение трапезной. Царь же и митрополит не отвергли их моления и приказали дать им средства на сооружение их трапезной. Они приняли милостыню от православного царя и удалились в радости в Царь-град. Отдали они турецкому царю много золота, чтобы повелел для них, убогих, у трапезной починить верх. И он, за золото, повелел им у трапезной верх заделать. И дал он им грамоту к санджаку. Санджак же приказал им у трапезной верх починить. Они же, большой труд приложив, своими руками починили верх у трапезной. Пришел санджак, и увидел их трапезную, и дьявольским наваждением распалился великой яростью на старцев. И повелел он им верх у трапезной опять разбить. Они же, убогие, заплакали горько, пришли к великому архистратигу Михаилу, со слезами, и отпели всенощную в его храме.

В ту же ночь неизвестный человек пришел к санджаку в палату, где он почивал с женой своей, и, подняв его с постели, пошел с ним. А сторожа и люди санджаковы не видели того человека, ни когда он входил во двор, ни когда он выходил с санджаком. И наутро нашли санджака, лежащего у ворот, мертвого, убитого мечом. И узнали доподлинно, как вышел санджак со двора ночью, а никто его при этом не видел. И напал на них страх, стали думать: «Это монахи пришли и убили его за трапезную. Пойдем-ка к монахам и, если найдем у них оружие или что-нибудь железное, тогда убьем всех монахов». Пришли они в монастырь святого архистратига Михаила, нашли монахов, молившихся в церкви, искали у них оружие, но не нашли ничего и не причинили монахам никакого зла. Так, Божией милостью, не посмели к трапезной прикоснуться, и она стоит цела и поныне.

Шестой монастырь святой великомученицы Екатерины. Седьмой монастырь святой Анны, матери святой Богородицы. Восьмой монастырь преподобного отца нашего Евфимия

Великого. Девятый монастырь святой великомученицы Феклы. Десятый монастырь святого отца Харитона. Одиннадцатый монастырь Воскресения. Двенадцатый монастырь святых мучеников севастиийских. Тринадцатый монастырь святого Иакова, брата Господня по плоти.

Стена старого города Иерусалима в окружности шесть поприщ, разбита вся до основания, а вокруг нынешнего города Иерусалима <стена> — три поприща. На северной стороне стоит монастырь Воздвижения Честного Креста, на нем был распят Христос. А от того монастыря на север, в пяти верстах, есть гора, а в ней пещера, куда бежала от Ирода царя Елизавета, жена Захарии, с Предтечею. А в той пещере источник, из него питалась Елизавета; он был сотворен Божьим повелением, а никем не выкопан. Да у восточного угла того же города Иерусалима стоят два дерева смоковницы, они стоят и до сего дня зеленые. Говорили, что под теми деревьями спали два пророка.

#### О селе Скудельничем

На запад от города, в одном поприще, над Юдолью Плачевною, на горе стоит село Скудельниче, где погребают странников, что было откуплено кровью Господа нашего Иисуса Христа. О том же глаголет Писание: «Когда предал Иуда Господа нашего Иисуса Христа беззаконнейшим иудеям за тридцать сребреников, тогда Господь наш Иисус Христос добровольно мучение принял ради нашего спасения от беззаконных иудеев. Тогда завеса церковная разорвалась на две части, и солнце померкло, и камни распались. И напал страх на беззаконного Иуду, и сказал он себе: «Согрешил я, продал кровь невинную». Пришел он в церковь, бросил сребреники, пошел и удавился. Беззаконнейшие же иудеи сказали себе: «Нельзя нам эти сребреники класть в казну, так как это цена крови». Вот и купили на них село Скудельниче для погребения странников. И правоверные христиане приходят из всех стран с востока до запада, чтобы поклониться гробу Господа нашего Иисуса Христа и святым местам; и если какому-либо пришельцу из чужих стран случается отойти к Богу, того христианина хоронят в этом селе Скудельничем. Или если будет в каком-либо монастыре пришлый монах из чужой страны и отойдет к Богу, тогда его из того монастыря приносят в это же село. А иерусалимца никакого в этом селе не похоронят. В этом селе в каменной горе выкопан погреб, вроде пещеры, и приделаны малые дверцы. В погребе этом находятся две как бы кладовые, и кладут христиан в погребе без гробов на землю. Когда положат христианина праведного или грешного, то лежит тело его 40 дней целое и мягкое, и смрада от него нет. А когда исполнится 40 дней, то за одну ночь тело его превратится в землю, а кости обнажатся. Приходит тогда человек, который живет в этом селе, соберет ту землю на лопату и помещает в одну кладовую, а кости — в другую кладовую. Кости целы и донныне; а земля словно голубая. Когда кто из православных придет помолиться, то не велят никому брать никаких мощей из того села. Если же какой-нибудь человек возьмет потихоньку часть тех мощей, то когда он сядет на корабль в море, тогда этот корабль по морю не может плыть. И начнут турки обыскивать христиан, и если найдут у кого что-то из тех костей, того выбросят в море, а корабль пойдет своим путем. Поэтому и не берут ничего из того села, поскольку не позволено это.

А от Иерусалима до того села одно поприще; а от Скудельничего села близ того места, где Юдоль Плачевная течет на юг, до сего дня стоит пустой дом святого Иова праведного, да колодец его же, каменный, разделенный надвое. А воды в нем теперь нет. А Юдоль эта пролегает подле лавры святого Саввы Освященного к Мертвому морю. И тою Юдолью, говорят, будет течь река огненная в день страшного Суда. Да на том же потоке купель Силоамская, где слепой умылся и прозрел, а купель Силоамская под горою под каменною. А для входа в нее устроена большая каменная лестница, как в походный погреб, ступеней

в пятьдесят, а в конце лестницы сама купель Силоамская, как колодец, глубиной по грудь человеку. И приходят многие люди, одержимые всякими разными недугами, и погружаются в ту купель, и становятся здоровыми. Из той купели вода идет сквозь каменную гору расселиною каменною. А за горою большой ручей, в том ручье стирают одежду. А от града Иерусалима до купели одно поприще. Мы спросили: «Почему здесь купель, откуда она?» И поведали нам люди: «Когда Господь возвратил из Вавилона плененных сынов израилевых и сынов из Сиона, пришел Иеремия пророк и все же плененные с ним на тот поток, и изнывали от жажды Иеремия и все пленники. Помолился Иеремия Богу, и дал ему Господь воду в той купели». А рек и колодцев в Иерусалиме нет, место это безводное, только одна купель Силоамская. И воду из этой купели арабы возят в город Иерусалим на верблюдах да продают. А убогие люди пьют дождевую воду. А дождь в Иерусалиме идет с Семенова дня в сентябре месяце и до Рождества Христова, а зимою и летом дождя не бывает. Собирают воду во время дождя: дома у них построены с плоскими крышами и со всех строений в каждом доме проведены желобы в колодец. Колодцы же высечены в каменной почве — и почва каменная. В тех колодцах вода стоит весь год и не портится. И вода у них дождевая белая, а не желтая.

При выходе из города на малом расстоянии от ворот, ведущих к селу Гефсимании, на середине горы лежит камень. До сего дня из того камня выступает кровь, в память православия; ту кровь с кусочками камня собирают христиане как мощи для благословения.

#### О селе Гефсимании

На том же потоке, немного выше города, на расстоянии выстрела из лука, в конце Юдоли Плачевной, находятся село Гефсимания и <дом> святых праведных родителей Богородицы Иоакима и Анны, который называется Богородичный дом. В том селе стоит церковь каменная, наравне с землею, во имя святых праведных родителей Богородицы Иоакима и Анны, а вход внутрь церкви снизу, по лестнице, там стоит гроб святых преподобных родителей Богородицы Иоакима и Анны. Внутри, в середине церкви, стоит небольшой придел каменный, а в нем гроб святой Богородицы, высеченный из камня — белого мрамора, а над гробом три лампы горят день и ночь. Входят в тот придел, и поклоняются святому гробу, и целуют его человек по пять и по шесть. А от того места в пяти сажнях — где служба совершается, а над тем престолом у верха церковного — большое круглое окно. Про это окно говорил нам патриарх иерусалимский Софроний, что через него, по Господню повелению, взято было тело Богородицы из гроба, Бог знает куда. По выходе из церкви справа, около церкви, большая пещера, вся была расписана, над дверьми написан Спасов образ. В этой пещере Иуда предал Христа беззаконным иудеям. А оттуда мы пошли в другую сторону от Юдоли Плачевной на Елеонскую гору; прямо у той пещеры на расстоянии брошенного камня стоит дерево, зеленое и до сего дня, а называется маслина. Там Христос совершал молитву втайне. У того же потока есть долина, в этой долине совершал Христос молитву, как гласит Священное Писание: «В Юдоли Плачевной, на месте, где Бог положил благословение и дал закон». И снова Христос пришел в эту пещеру к ученикам своим, и нашел их спящими, и сказал им: «Вы обещали умереть со мною, а вот не можете и часу пободрствовать со мною. Один из вас спешит и бодрствует, — хочет меня предать беззаконным иудеям». И ушел он от них в другое место, чтобы помолиться, — в долину, где находится Юдоль Плачевная. А помолившись, он опять пришел в ту же пещеру к ученикам своим. И нашел их спящими и сказал им: «Спите и так далее, и почивайте, дух ведь бодр, а плоть немощна».

Пройдя немного оттуда, мы попали на Елеонскую гору; тут лежит камень, с него Христос сел на осла. Оттуда мы пошли на вершину святой горы Елеонской. От Гефсимании до

вершины Елеонской горы почти полторы версты, а от Иерусалима одна верста. На самой святой вершине место, где Христос стоял со своими учениками. И спросили его ученики о конце света. Он ответил: «Не может того знать ни Сын, ни кто другой, только один Отец».

На той вершине стоит большая церковь Вознесения Христова, пустая и запечатанная беззаконнейшими турками. В этой церкви устроен малый храм, а в малом храме перед царскими вратами лежит камень. С этого камня Христос вознесся на небо на глазах своих учеников; на камне этом отпечатались стопы Христа, и теперь лежит одна стопа Христова, видна и по сей день. Мы же, грешные, целовали ее.

От святого города Иерусалима до реки Иордана ... поприщ, здесь крестил Господа нашего Иисуса Христа Иоанн Предтеча. И тут на берегу большая церковь Богоявления Христа Бога нашего стоит пустая. С полверсты от этой церкви стоит монастырь Иоанна Предтечи, на том месте, где Иоанн Предтеча крестил неверных иудеев. В этом монастыре есть игумен и монахи. На праздник к вечерней службе игумен и священник этого монастыря приходят в церковь святого Богоявления и служат святую вечернюю службу, и всенощную, и заутреню, и обедню и снова уходят в свой монастырь. Там же весьма красивый монастырь преподобного и святого отца Герасима, которому служил лев.

Река Иордан протекает между гор, в быстром течении несет камни и впадает в Мертвое море; вода ее на вид будто желтовата; мы эту святую воду иорданскую пили.

Много в Иерусалиме и других святых мест поклонных; невозможно все их описать из-за большого количества и притеснения со стороны безбожных турок. Там же и Вифания, где Господь воскресил Лазаря. Там же и Кана Галилейская, где Господь наш Иисус Христос был на свадьбе и воду в вино превратил. Там же и Вифсаида, из нее родом святые апостолы Петр Верховный и брат его Андрей Первозванный. Там же и озеро Тивериадское, на нем же явился Иисус ученикам своим по воскресении. И когда он ел перед ними, как написано в Евангелии, они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв это, он ел перед ними. Там же, в пятнадцати стадиях от Иерусалима, село Эммаус; к которому шел Господь и дорогой беседовал с Лукой и Клеопой о распятии своем. И других святых мест там много, нет им числа.

## ПОВЕСТЬ О СПОРЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ<sup>44</sup>

### **О произведении:**

*В европейских странах в период позднего средневековья получила широкое распространение тема спора человека со смертью. Так называемые «Пляски смерти» и диалоги человека со Смертью нашли отражение в творчестве и писателей, и художников, а также в народной сатире, в представлениях народных театров. Непосредственно с Запада эта тема была заимствована русской литературой. Первым произведением такого рода, попавшим на Русь, явилось «Двоесловие живота и смерти, сиречь стязание животу с смертью». Это был дословный перевод немецкого стихотворного диалога, изданного в 1482—1492 гг. в Любеке печатником Бартоломеом Готаном и привезенного им в 1494 г. в Новгород. Перевод был сделан, возможно, при участии того же Б. Готана при дворе архиепископа Геннадия. Вскоре после своего появления перевод начал перерабатываться и приобрел более понятное для русского читателя название «Прение живота со смертью». В середине XVI в. создается четвертая («распространенная») редакция «Прения», в которой уже трудно усмотреть черты немецкого оригинала. Эта редакция и публикуется в настоящем издании. Переработка выразилась прежде всего в изменении образов, выступающих в диалоге собеседников: неопределенный «живот» переделывается в удалого воина, разъезжающего по чистому полю и похваляющегося своей силой. Описание облика Смерти приобрело красочные черты, заимствованные из «Жития Василия Нового». Кстати, следует отметить оплошность составителя четвертой редакции, сохранившего употребление форм первого лица в тексте, взятом из «Жития», несмотря на то, что повествование в «Прении» ведется от третьего лица. Изложение реплик спорящих значительно отдалилось от буквальной передачи немецкого оригинала. Поскольку мысли, на которых строятся доводы спорящих, были знакомы начитанному книжнику из учительной литературы (слова о смерти, покаянии, Страшном суде и др.), то он без труда стал передавать их привычной фразеологией славяно-русской литературы, внося при этом новые оттенки в эмоциональную окраску спора и в характеристику его участников. Автор-редактор отошел от чисто диалогической формы к повествовательной, поместив в начале и конце повести описательный текст, заимствованный, главным образом, из «Жития Василия Нового». Перечень героев, которых победила Смерть, включенный в четвертую редакцию, был хорошо знаком русскому читателю по литературе и народному эпосу.*

*Автор-редактор проделал такую значительную работу, что произведение по форме изложения потеряло связь с оригиналом, в нем исчезли всякие признаки переводности, содержание его стало более доступным и понятным.*

---

44 Подготовка текста и комментарии Р. П. Дмитриевой, перевод Л. А. Дмитриева

*В течение второй половины XVI и XVII вв. «Прение живота и смерти» неоднократно подвергалось переделке за счет включения новых доводов в споре между воином и Смертью. Литературной средой, в которой это произведение бытовало в XVI в., были воинствующие церковники ортодоксального толка. «Прение живота и смерти» на всех этапах его литературной жизни в основном сохраняло идейную близость церковно-учительной литературе, а цель памятника заключалась в стремлении внушить читателю мысль о неизбежности смерти и необходимости покаяния. Однако напоминания о равенстве всех — в том числе и богатых и знатных — перед смертью, о равном возмездии на «том свете» давали своеобразный выход антифеодалным настроениям.*

*Текст «Прения...» печатается по списку конца XVI в.: РНБ, собр. Погодина, № 1301, л. 8 об., 9, 13—15 об., исправления внесены по списку: РГБ, собр. Волоколамское, № 520. Издание текстов всех редакций памятника см.: Повести о споре жизни и смерти. Исслед. и подгот. текстов Р. П. Дмитриевой. М.; Л., 1964.*

Некий человек, удалой воин, ездил по полю чистому, по раздолью широкому. И пришла к нему смерть, и был вид ее страшен, как у рыкающего льва, ужасен он для человеческой природы. Носит смерть с собой всякие орудия: меч, ножи, пилы, рожны, серпы, топоры и другие неведомые предметы, которыми по-разному вершит свои злодеяния.

Увидав ее, смиренная моя душа сильно устрашилась. И я спросил смерть: «Кто ты, лютый зверь? Очень уж страшен облик твой: вид у тебя человеческий, а поведение звериное».

Ответила ему смерть: «Пришла к тебе, хочу тебя взять».

Говорит тогда человек тот: «Да я не хочу, а тебя не боюсь».

Смерть же ему в ответ: «О человеке, почему меня не боишься? Цари и князья, и воеводы, и священнослужители меня боятся. Я славлюсь по всей земле, а ты меня не страшишься».

Говорит ей человек тот: «Ведь я удалой воин, в ратном деле многочисленные полки побеждаю, а в одиночку ни один человек не может со мною сразиться, ни выйти против меня. А ты ко мне одна пришла и всяких орудий с собой много носишь. Нет в тебе удали, только страшна: облик твой пугает меня, и все во мне трепещет, когда смотрю на тебя. Уходи от меня прочь, пока не пронзил тебя мечом своим».

Тогда говорит ему смерть: «Я ни сильна, ни хороша, ни пригожа, а вот сильных и пригожих забираю. Вот что скажу я тебе, человеке, послушай меня. От Адама и до сегодняшнего дня сколь много было богатырей удалых, а ведь никто не осмелился со мной сразиться, да и не знаю я никого, кто бы со мной сразиться мог. Да еще скажу тебе, послушай меня: от Адама и до сегодняшнего дня сколь много было людей, царей и князей, и священнослужителей, женщин и девиц, — всех их я забрала. Самсон сильный, не богатырь ли был, не сильнее ли тебя был? Так говорил он: “Если бы было кольцо в землю вделано, то я бы весь мир повернул”. А я и его взяла. Александр, царь македонский, удал и храбр был и всему подсолнечному миру царем и государем стал, а я и его взяла, как одного из убогих. А царь Давид, среди пророков пророк, — а я и его взяла. О человеке, не мудрее ты царя Соломона — царь Соломон разумным и мудрым был, да и тот со мной не смел поспорить, и его я взяла. Акир Премудрый в Алевитском царстве, не было под солнцем другого такого мудреца, да и тот со мной не смел поспорить, а я и его взяла. Да знаешь ли ты, человеке, что я, смерть, — не взяточница, богатства не коплю, а нарядных одежд не ношу, а земной славы не ищу, потому что немилостива — с детства не приучилась миловать: и я не милую, не делаю отсрочки ни на минуту, а как приду, так и возьму».

И говорит человек тот: «Госпожа моя смерть, будь благосклонна ко мне».

И говорит ему смерть: «Невозможно это, человеке, потому что ко всем моя благосклонность одинакова: какова к царю, такова и к князю, и к священнослужителю, и к богатому, и к бедному. О человеке, если бы я собирала богатства, то столько набралось бы у меня богатства всего мира, что и сказать нельзя! Потому так, человеке, что хожу я, аки тать в нощи, никого не предупреждаю, ибо, человеке, слышала, что говорит Господь в

Евангелии: “Остерегайтесь, ни один из вас не знает, когда тать придет в дом его; если бы знал, крепко бы стерег и не дал бы проникнуть в дом свой”. Так и ты, человеце, знай: берегись смерти каждый час, пока я не пришла за тобой. А теперь, человеце, неоткуда ждать тебе помощи, потому что, человеце, — “В чем тебя застаю, в том и сужу”, — говорит Господь».

Сказал тогда человек тот: «Госпожа моя смерть! Разреши мне, госпожа, пойти в город и покаяться».

Ответила ему смерть: «Нет, человеце, не пушу тебя, потому что многие люди так же говорят. Когда я прихожу к ним, то они говорят: “Господи, отпусти меня, чтобы покаяться”, — и я отпущу, чтобы покаяться, и он, освободившись, поступает по-прежнему, а про меня забывает, думает, что с ним ничего не случится. Уже, человеце, жизнь твоя пресекается, близок конец твой, а солнце твое зашло».

Тогда человек этот начал рыдать, плакать взахлеб и много жалобных слов произнес. И говорит он: «Госпожа моя смерть! Разреши, госпожа, пойду и приготовлю сорочку и саван и все другое необходимое для погребения тела моего».

Говорит ему смерть: «Нет, человеце, не отпущу тебя».

И начал человек рыдать и стенать в сердечной тоске, так говоря: «Ох, ох, ох! Смерть-злодейка, кто тебя может избежать? Увы, увy мне, не готов я, о горе мне, грешному, пришел за мной неумолимый злодей! По праву дано ей имя смерть, о, немилосердная злодейка!»

Смерть же, подступив к нему, подсекла ему ноги косою и, взяв серп, схватила его за шею, взяла маленький топор и начала отсекать ноги, а потом и руки. И иными орудиями стала дробить все части тела моего, одними одни, а другими другие члены тела моего, и окоченели жилы мои, и вырвала она двадцать ногтей моих. И отняла язык, и омертвело все тело мое, не мог никак пошевелинуться от страха перед всеми орудиями, которыми терзала она меня. Потом взяла она топор острый и отрубила голову мою. После этого налила чего-то в чашу, а чего — не знаю и не ведаю, и дала мне пить против моего желания. Так ведь, братья, столь было горько и тошно в это время, что и описать нельзя беду эту великую.

И исторгнула мою душу, и стремительно вылетела душа из меня, из тела моего, как птица из тенет. И тотчас прекрасные юноши взяли душу мою на руки свои и держали ее, а я оглянулся назад и увидел тело мое, лежащее бездушно и неподвижно, как если бы кто-нибудь снял с себя одежду свою и бросил ее и стоял бы и смотрел на нее. Так и я видел тело свое очень гнусным, от которого, как от трупа, исходил ужасный смрад. Так же как кто-нибудь испустил из себя нечистоты и, гнушаясь их, отбежал прочь, так и мертвая человеческая плоть омерзительна. Аминь.

## ОБ УМСТВОВАНИЯХ КОСОГО (ИЗ "МНОГОСЛОВНОГО ПОСЛАНИЯ")<sup>45</sup>

### **О произведении:**

*Текст «Об умствованиях Косого» («О Косого мудровании») сохранился в виде особых «вопросов», входящих в состав одного из двух противоеретических трактатов, направленных против русского еретика середины XVI в. — Феодосия Косого, проповедовавшего сперва в Московской (Белоозеро, Москва), а затем в Западной (Литовской) Руси. Оба противоеретических трактата — «Послание многословное к вопросившим... на зломудрие Косого» и «Истины показание к вопросившим о новом учении...» — написаны автором или авторами, знакомыми с учением Косого по изложению (письменному и устному) неких «богобоязненных людей» из Литвы и «крылошан» из Старой Руссы. Автор «Истины...» прямо назван в древнейшей рукописи памятника (возможно, его автографе) — это старец Зиновий, инок новгородского Отенского монастыря, ученик Максима Грека. В «Многословном послании» имени автора*

<sup>45</sup> Подготовка текста, перевод и комментарии Я. С. Лурье

нет, но ряд исследователей также считает этот памятник сочинением Зиновия Отенского.

Ересь Феодосия Косого, получившая распространение вначале и осужденная собором в середине 50-х гг. XVI в., представляла собой самое радикальное из всех еретических движений Древней Руси. Еретики отрицали не только церковную традицию после Библии (подобно новгородско-московской ереси конца XV — начала XVI в.), но также и всякую церковную иерархию и богоустановленность светских «властей». После бегства еретиков в Польско-Литовское государство Косой и его сподвижники примкнули к крайним представителям Реформации в Польше — антитринитариям (социнианам), и возглавленное ими движение «русских братьев», наряду с близким к нему движением «чешских братьев», оставило глубокий след в идейной жизни Западной Европы вплоть до XVII—XVIII вв.

«Послание многословное» было, по мнению большинства исследователей, более ранним из двух противоеретических трактатов Зиновия Отенского — оно написано, по-видимому, в конце 50-х — начале 60-х гг. XVI в.

Не имея возможности включить в «Библиотеку литературы Древней Руси» «Послание многословное» в его полном объеме, мы публикуем здесь введение («Сказание») к «Многословному посланию» и «Вопросы о Косого мудровании» (так они озаглавлены в пометках, сделанных в рукописи на полях), которые в «Послании» перемежаются с пространством опровержением «мудрований» Косого. Следует, однако, иметь в виду, что «Вопросы» отнюдь не представляют собой точного изложения учения Косого (едва ли даже существовавшего в письменном виде) — в ряде случаев они явно искажают его высказывания, придавая им особенно одиозный характер. Однако самый характер аргументации Косого «Вопросы», по-видимому, передавали верно: как и другие представители еретических и реформационных движений, Феодосий Косой широко привлекал тексты «Писания», и в особенности — Евангелия, Апостольские послания и Деяния, противопоставляя их «Преданию», то есть основной традиции, на которую опиралась господствующая церковь.

«Сказание» и «Вопросы» из «Многословного послания» публикуются по единственной древней рукописи (XVI в.; сохранилась также еще копия XIX в.) этого памятника: РНБ, Кир.-Бел. собрание, № 31/1108, л. I—4 об., 12 (заголовок «Послания многословного»)

#### ПОЯСНЕНИЕ К «МНОГОСЛОВНОМУ ПОСЛАНИЮ»

Причина написания этого многословного послания такова.

Некие рабы в городе Москве, украв кое-что из имущества своих господ, бежали в Белозерские земли. Боясь, что будут наказаны своими господами, они укрылись в монастырях и постриглись в монахи. Потом встретились на Новоозере Феодосий, по прозвищу Косой, и Игнатий, и Вассиан, ученики Артемия, и другие с ними. Эти монахи впали в ересь, которую можно назвать безбожной, отступили от Христовой веры, и вселился в них злой дух, начали они учить своей ереси и других людей. Розыск об этой безбожной ереси был произведен священным собором, собравшимся в Москве. Тогда зачинатели той ереси разбежались из Новоозера: Игнатий — на Двину, Косой и Вассиан с прочими — в Литву. По дороге в Литву они прошли Псков, и Торопец, и Великие Луки, везде сея свою злую ересь. Укрывшись же в месте, называемом озеро Усочорт, они переменили свои имена, чтобы их не узнали, и многих совратили от православной веры в свое лжеучение, не только не боясь Бога и склоняясь к греху, но и не стыдясь богобоязненных благочестивых людей.

Учили же они, прельщая простодушных людей, так: прежде всего хулить монастыри, обвиняя их в том, что они имеют села, затем укоряли попов и епископов, говоря: «Живут попы и епископы не по Евангелию, они — ложные учителя, накапливают имущество, много едят и пьют и по Евангелию не учат — учат человеческим измышлением». А о себе эти еретики говорят, что они лучше всех узнали истину, и живут по Евангелию, и имеют больше мудрости, чем святые отцы. И святых отцов хулят и называют их неистинными

учителями, себя же именуют истинными учителями. Потом хулят святые церкви, называя их кумирницами, крест Христов и святые иконы называют кумирами, мощи святых мучеников и всех святых именуют эллинскими мертвецами, а почитающих все святое и Божественное зовут погибшими и заблудшими, последователями человеческих измышлений. Есть же и пить учат они без умеренности, мясо и все остальное — во все дни и ночи, ничего не называть святым и священным, и не усматривать ни в чем ни святости, ни освящения. Также и творить молитв не велят, ни класть поклонов, ни поститься, также ничего не называть нечистым и ни в чем не видеть скверны. И после соития омываться не повелевают, считая, что все на свете чисто. И все веры во всех землях почитают одинаковыми. Книги святых отцов и церковные правила именуют ложным писанием, повелевают читать одни лишь книги Ветхого завета, и Евангелие, и Апостол, и Постническую книгу Василия Великого, а у Златоуста только Маргарит. Одни лишь эти книги они повелевают читать потому, что из них выбирают отдельные строки и ложно толкуют их согласно своему развращенному разуму, прельщая не разумеющих Писания в свою пагубную ересь. Прочие же книги святых отцов и мучения святых и жития и учения святых мучеников не разрешают читать. Учат также не верить в то, что на святых почивает Божия благодать, и чудеса от них именуют ложными и пророчества их — не от Святого Духа, и Богородицу считают простой женщиной.

Уча таким образом, эти еретики увидели, что некоторые из богобоязненных простых людей, наученных ими, усомнились в их нечестивом учении, и стали еретики убеждать их, оболгав некоего монаха и говоря: «И монах этот ведаёт истину, но молчит и истину утаивает». Тогда эти богобоязненные люди, испытывая из-за еретиков великое смущение и не зная, в чем заключается истинное благочестие, боясь прогневать Бога неведением благочестия, написали к тому монаху, о котором слышали клевету от еретиков, моля его и заклиная именем Господним сказать им об истинном благочестии, ничего не умалчивая, не утаивая. Изложили они ему все эти нечестивые учения и спросили его, добру ли учат их люди Косого.

Когда же монах услышал об этом великом бедствии для людей Божиих из-за еретиков, испытал он великую душевную боль, пролил много слез из-за такого прельщения христиан антихристом, сразу же принялся за работу и написал это «Послание многословное» к людям, благочестие которых поколеблено еретиками, написал поспешно и неискусно, однако согласно православному вероучению. <...>

<...> ЧЕРНОРИЗЦА ПОСЛАНИЕ МНОГОСЛОВНОЕ К ПРОСИВШИМ ЕГО ПОДТВЕРДИТЬ ИХ БЛАГОЧЕСТИЕ ПРОТИВ ЗЛОМУДРСТВОВАНИЯ КОСОГО И ТЕХ, КТО С НИМ

<...> Писали вы мне в грамоте своей, говоря: «Как христиане, крещенные во имя Отца и Сына и Святого Духа, вы обещали и обязались верить и соблюдать те обряды, каких придерживается святая апостольская соборная церковь Христова. Так вы и мудрствовали в благочестии по своему обещанию Богу и исповеданию и доньше, подобно отцам вашим, изначально принявшим крещение при Владимире. Ныне же пришли в вашу землю некие, выдававшие себя за черноризцев, и стали учить, говоря: “Неправая у вас вера, и гневите вы Бога вашим мнимым благочестием — ходите в церкви каменные, а такое в Евангелии и Апостоле не писано. Писано — апостолы в горницу собирались, а не в церковь; ибо не было церкви при апостолах. Единой церковью в Иерусалиме была древняя, о разрушении которой Христос сказал: «Не останется камня на камне», и прочее. Не подобает церквам ныне быть после разрушения древней церкви. Ныне же не церкви созданы, но кумирницы и хранилища золотых украшений. Ибо Златоуст в слове «Когда предстала царица» говорит: «Церковь не стены, но собрание верующих». Он же в Маргаритах говорит: «Не храм освящает собравшихся, но собравшиеся делают храм святым»». <...>

Писано также в грамоте вашей, что те же пришельцы говорили вам: «Не подобает почитать иконы Христа, и его матери, и ангелов, и мучеников, и отцов церкви. Бог заповедал: “Не сотвори себе, — сказал он, — никакого подобия того, что на небе наверху и на земле внизу, и того, что в воде и под землей, и не поклоняйся им и не служи им”. И в Псалмах написано: “Идолы язычников — серебро и золото — дело рук человеческих. Уста

имеют и не говорят, очи имеют и не видят, уши имеют и не слышат, ноздри имеют и не обоняют, руки имеют и не осязают, ноги имеют и не ходят, и не возглашают гортанью своей”. И в Премудрости <Соломона> написано: “Нечестивы и уповают на мертвых те, кто именуется богами деяния рук человеческих — золото и серебро, измышления ума и подобию животных”. И немного далее говорит: “Если кто отсечет от дерева подходящий кусок и своим мастерством создаст образ и уподобит его человеку или какому-нибудь из животных, и расписав красками и нарисовав алые цветы, всячески его украсив, найдет ему подобающее место, поместив на стене и укрепив железом, чтобы не упал, видя и зная, что тот образ сам себе помочь не может и потребна ему помощь”, и прочее, как написано в Премудрости. И в Послании Иеремии в Вавилон написано: “Ныне вы увидите в Вавилоне богов серебряных, золотых и деревянных, которых носят на плечах, чтобы пугать чужеземцев. Не бойтесь, дабы и вы не уподобились иноплеменикам, которых охватывает из-за них страх, когда они видят, как кланяется им весь народ”. И немного далее говорит: “Скипетр имеет, как человек, главный судья страны, а согрешающего перед ним не убьет. Также саблю имеет в руке и секиру, а сам себя на войне и от разбойника не защитит; поэтому мы знаем, что они не боги, не бойтесь же их”. И немного далее говорит: “В их храмах устанавливают жрецы двери, которые закрывают ключами и засовами, чтобы разбойники не обворовали храм, зажигают многочисленные светильники, потому что сами по себе идола не видны. Над телами и головами их парят летучие мыши, а также летают ласточки и иные птицы. Поэтому можете узнать, что они — не боги; не бойтесь же их. Если кто не очистит от ржавчины позолоту, которой они украшены, она не заблестит; когда идола отливали, они этого не чувствовали. За плату они куплены, нет в них души. Лишенных ног носят на плечах, обнаруживая тем перед людьми их нечестие”, и прочее, как написано в Послании Иеремии. И иконы тоже дело рук человеческих: очи имеют и не видят, и прочее, и красками расписаны и позолочены так же, как идола, и украшены так же. И по Писанию, иконы — идола, и в Евангелиях ничего не написано об иконах. Грех почитать иконы». <...>

Еще писали вы, что эти пришельцы говорили вам и такое: «Не надо творить молитв, единственная молитва — отступить от неправды, ибо Бог требует только чистых сердец, а не молитвы. И в Евангелии написано: “Совершайте поклонение духом и истиной”, а не телом, кланаясь или падая на землю и творя поклоны. И смеются над ектениями, говоря: “Как же молятся о победе над врагами, когда Христос повелевает любить врагов и молиться за них? Как узнает Бог, что мы от него требуем? Зачем нам Бога учить? Не подобает просить у Бога, поэтому да не будем учить Бога”. И Октоих, и месячные песнопения святым, и Устав — все это они называют сочинениями развращенных людей и человеческими измышлениями. Говорят еще: “Кто разделил дни на постные и не постные? Дни изначала сотворены Богом одинаковыми, и Господь в Евангелии сказал: «Не могут сыны чертога брачные поститься, пока с ними жених»”. И с нами жених — Христос, и поэтому не подобает нам поститься и с утра есть можно, ибо и ученики Христа утром растирали колосья и ели. Сказал Христос: “Не входящее в уста оскверняет человека”, и прочее. Поэтому никогда не следует поститься. А апостол писал: “Для чистых — все чисто”. И Петру на спустившемся с неба полотне показал Бог всех животных и повелел их есть. Что такое посты? Что значит среда и пятница? Нет этого ничего. И ничего нет в том, чтобы есть мясо ежедневно. Ибо говорит Златоуст: “Не поститься велел Христос, но быть милосердным, как милосерден отец ваш небесный”. И снова он же: “Из чего узнают, что вы мои ученики? Из того, что вы мертвых воскрешаете и прокаженных исцеляете? Нет, из того, сказал, что вы любите друг друга”». <...>

Писали вы мне еще, что эти пришельцы говорят про веры, которые есть у всех народов, что все люди для Бога едины: и татары, и немцы, и прочие народы. Ибо говорит апостол Петр: «Во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде приятен ему». Поэтому и крещение не нужно людям, ибо говорит апостол: «И обрезание ничего не значит, и необрезание ничего не значит». Так же и перед причащением телом и кровью Христовой

не нужно поститься, или очищаться, или омываться. Это — не тело Христово и не кровь: Христос завещал нам учение, а не тело свое, не кровь свою. А причастие — простой, обычный хлеб, и есть его надлежит, как обычный хлеб, без всяких приготовлений к этому. И все приносимое в церковь — свечи и прочее — Бог ненавидит, и это приношение во грех приносящим. Ныне Бог не требует приношений. В Ветхом завете были приношения, ныне же: «Жертва Богу — дух сокрушенный», как указано в Писании. А всякое приношение — то же, что жертва идолам. А монашество откуда взяли? В Евангелии и Апостоле об этом ничего не написано, но пишет Апостол: «Дух Святой ясно говорит, что, когда придут последние времена, отступят некие от веры, внимая лживым духам и учениям бесовским, следуя лицемерию лжеучителей, с сожженной совестью запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарностью». А не есть мяса в среду, в пятницу и в пост, и монашествовать, и не жениться, и после соития омываться — все это человеческие измышления. И поэтому подобает есть мясо в среду, и в пятницу, и в посты, и не блюсти воздержания, и после соития не омываться. «Ибо брак да будет честен и ложе непорочно» и «Для чистых все чисто» — пишет Апостол. И Петру было заповедано на спустившемся с неба полотне: «То, что Бог сделал чистым, не оскверняй». Также и в Евангелии написано: «Не входящее в уста оскверняет человека». Также сказано: «Фарисей слепой, очисти прежде то, что внутри». Таким образом, все это — человеческие измышления, противоречащие Евангелию и Апостолу. «Клялся, говорит, и утвердил твое правосудие», а не говорит: «человеческие измышления». В церквях же попы учат человеческим измышлениям по книгам и по их уставам и повелевают себя слушаться, и земных властей бояться, и давать им дани. Но не подобает у христиан властям быть и воевать, — сказано: «От взявшего у тебя не требуй назад». Велят также попы приносить деньги и подавать нищим, а нищие — псы, не следует им подавать, ибо сказано: «Нехорошо отнимать хлеб у детей и бросать псам». А дети — это мы, ибо познали истину, потому что у нас есть разум духовный. И всякий, кто имеет такой же разум, — тот духовный брат и дитя, и нам подобает приносить имущество, как сказано в Деяниях: «Приносили деньги и клали к ногам апостолов». Те же все, кто приходягк церквям и следуют человеческим измышлениям, суть псы и мирские люди, сбившиеся с истинного пути, и не воссияет им истинное учение, они — погибшие, и сколько бы добрых дел ни делали, не могут спастись, если не восприимут нашего образа мыслей. Никому так не открылась истина, как нам открылась. Не подобает также повиноваться властям и попам, потому что сказано: «Не называйтесь наставниками: один есть у вас наставник — Христос». Также не подобает почитать родителей, ни именовать их отцами; ибо сказано: «Отцом не называйте никого на земле. Один отец у вас — Бог». И поэтому мы сыновья Божии, ибо истину никто так не познал, как мы; не имеющие же нашего образа мыслей — мирские люди и псы. <...> Писали вы мне еще в грамоте вашей, что эти пришельцы говорят вам: не подобает читать о мучениях святых мучеников, потому что от этого люди впадают в соблазн: писано в житиях, что они укоряли мучителей, а это не подобает делать. Не подобает также почитать и жития святых отцов, потому что от них, как и от мученических житий, люди впадают в соблазн: описываются в них чудеса и пророчества. Ибо говорил Христос: «Все пророки были до Иоанна Предтечи», и поэтому после пророчества Предтечи не бывает пророчества от Бога; также и после апостолов нет чудес; нынешние же пророчества и чудеса ложные, ибо не подобает после Предтечи и апостолов быть пророчеству и чудесам. Также не подобает ни почитать мощи апостолов, мучеников и святых отцов, ни призывать их в молитвах, потому что это человекослужение, а человекослужение предано проклятию. Укоряет таких и пророк, говоря: «Живые обращаются за помощью к мертвым». Ибо апостолы творили чудеса и помогали людям, когда были живы; после смерти же ни они, ни мученики, ни святые отцы ничем не могут помочь тем, кто молится им: мертвецы они такие же, как и всякие мертвецы. И у эллинов были такие же мертвецы. И чудеса от их мощей бывают для искушения людей, а не святым Духом. Где написано, что тела

нетленны? Поэтому тот, кто почитает мертвые тела и призывает мертвых к молитве, есть человекослужитель и отступник от заповедей: презирая господина, молится рабу, оставя Бога, призывает на помощь мертвецов. Также и дни поминовения праздновать не подобает: это великий грех. <...>

Также писали вы мне в грамоте вашей, что говорят ваши пришельцы: «Не подобает слишком почитать родившую Христа, ибо сказал Христос: “Кто мать моя и кто братья мои? Тот, кто творит волю пославшего меня, тот мне брат, и сестра, и мать”. И поэтому мать Христова не заслуживает почитания, но так же, как все женщины, так и она. Почиталась, когда Христа в утробе носила, а после того, как родила Христа, не имеет святости. Ибо пока кошель полон серебряников, его оберегают, когда же опустошится, тогда тот же кошель в пренебрежении бывает, ибо он — ничто; так же и мать Христова, когда родила, стала как все женщины. И крест, которому поклоняются, есть дерево. Какую он святость имеет? Как и всякое дерево, как столб, не имеет святости. Крест — это то, о чем Господь сказал: “Возьми крест свой и следуй за мной”, а не тот крест, который сотворяют руками и поклоняются ему». <...>

Писали вы мне в грамоте вашей, что эти пришельцы именуют попов в церкви ложными учителями, говоря, что в Маргаритах написано: «Ныне попы — не священники Божии, но лицемеры во священстве». О попах же говорит и Господнее слово: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры». <...>

Писали вы мне еще в грамоте вашей, что эти пришельцы говорят: «Так же, как иудеи и мучители в древние времена подвергали гонению апостолов, так и нас гонят впавшие в заблуждение, потому что мы истину знаем лучше всех, из-за того нас и гонят. Златоуст писал, толкуя евангельскую притчу о плевелах на поле, что не подобает убивать еретиков. Они же нас, познавших истину, гонят, как и апостолов, и возбраняют нам толковать слово Божие». <...>

### **О призывении:**

*Чаша государева заздравная — это прежде всего обряд испития чаши (чарки, братины) за здоровье и благополучие государя — князя, царя. Так же называлась и речь, произносившаяся при поднятии чаши (тост).*

*Обычай испивать заздравные чаши государевы был повсеместным на Руси. При царском дворе придавали большое значение этому ритуалу как выражению преданности самодержцу. Нарушение его считалось таким же преступлением, как оскорбление царского величия.*

*Как на светских пирах, так и за монастырской трапезой чаши следовали в определенной последовательности, не остававшейся, однако, неизменной. За монастырской трапезой государева чаша следовала после чаши во славу Христа и Богородицы, но ей могли предшествовать также чаши в честь праздника и в честь святого. Каждой из чаш за монастырской трапезой предшествовало пение тропарей, почему монастырские чаши назывались также трапезными и тропарными.*

*Текст чаши государевой не был раз и навсегда установленным. Это могла быть простая здравица, но чаще текст чаши включал и другие благопожелания. В церковном Уставе редакции 1401 г. (Иерусалимском) предлагался такой текст для произнесения на трапезе «о здравии цесарем или князем»: «В долголетний живот здравия, смирения, благопоспешения, и спасения, и на врагы победа благочестивому и христоролюбивому великому князю». Однако все дошедшие до нас тексты чаш государевых, созданных в XVI—XVII вв., гораздо многословнее. Сохранились тексты чаш царей Ивана Грозного, Бориса Годунова, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича. Тексты эти представляют как исторический, так и литературный интерес.*

*С XVI в. обряд испития государевой чаши в монастырях усложнился. Был составлен «Чин и устав на трапезе за приликов о здравии благочестивому и христоролюбивому царю и великому князю всея Руси самодержцу», который включал молитву за царя («Владыко многомилостиве»), произносившуюся игуменом или иереем, пение «Многолетия» и собственно чашу — речь при поднятии «царской чаши». Этот текст в большинстве списков Чина представляет собой здравицу — пожелание здоровья царю на многие лета, но вместо нее мог быть и пространный текст с различными благопожеланиями. Подробнее о чашах государевых см.: Орлов А. С. Чаши государевы. М., 1913; Соколова Л. В. Чаши государевы заздравные // Грузинская и русская средневековые литературы. Тбилиси, 1992, с. 191—208. Там же см. публикацию: Чаша государева царя Федора Алексеевича.*

*В наст. изд. публикуются две чаши — Ивана Грозного и Бориса Годунова.*

### **ЧАША ГОСУДАРЕВА ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА**

*Текст этой чаши, обнаруженный М. Н. Мясниковым в рукописи конца XVI в., впервые был опубликован в 1827 г. в «Трудах и летописях ОИДР» и переиздан А. С. Орловым (см.: Орлов А. С. Чаши государевы, с. 34). Поскольку судьба рукописи неизвестна, в наст. изд. текст публикуется по изданию А. С. Орлова с изменением пунктуации.*

---

<sup>46</sup> Подготовка текста, перевод и комментарии Л. В. Соколовой

*Чаша царя Ивана Васильевича создана в 1561—1563 гг.: в ней упоминается вторая жена царя, Мария Темрюковна, на которой он женился в 1561 г., и его родной брат Георгий, умерший в 1563 г.*

*В тексте чаши обращает на себя внимание фрагмент, характерный только для чаши Ивана Грозного и представляющий собой своего рода «пропаганду» преданности царю (см. третий абзац).*

#### **ЧАША ГОСУДАРЕВА ЦАРЯ БОРИСА ФЕДОРОВИЧА**

*После восшествия на трон Бориса Годунова была составлена рекомендация к написанию чаши нового царя, помещенная в Хронографе русской редакции (третьей редакции первого разряда). Она составлена на основе молитвы «Владыко многомилостиве», входившей с XVI в. в «Чин за приливок о здравии царем и князем». Сходство с молитвой обнаруживается не только в благопожеланиях, но и в особом подчеркивании богоизбранности царя, чего нет, например, в чаше Ивана Грозного. Вслед за этой рекомендацией к составлению текста чаши нового царя автор Хронографа помещает им самим созданную чашу царя Бориса Федоровича. Отличительной особенностью этого текста является то, что он содержит не только благопожелания, но и своеобразные наставления царю в форме пожеланий («...а на насъ бы на рабѣхъ его отъ пучины премудраго своего разума и обычая мудраго и милостивнаго нрава неоскудныя рѣки милосердия изливались выше прежняго, а къ воинскому бы чину призрѣние и храбрское устройство, и много милости бѣднымъ, и вдовамъ, и сиротамъ и всѣмъ милостивно покровение и крѣпкое защищение, а виннымъ пощада и долготерпѣние») (см.: Орлов А. С. Чаши государевы, с. 39—41).*

*В наст. изд. чаша государева царя Бориса Федоровича публикуется по рукописи РНБ, Соловецкое собр., № 852/962, XVII в., л. 492—494. Отличие этого текста от помещенного в Хронографе — в отсутствии приведенного фрагмента, содержащего «наставления» царю, и в стилистических особенностях: в публикуемом тексте синтаксис усложнен, характерен прием «нанизывания» синонимов, особенно в определениях, относящихся к царю.*

#### **ЧАША ГОСУДАРЕВА ЦАРЯ, ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ВСЕЯ РОССИИ**

Дай Бог, чтобы здрав был царь государь наш князь великий Иван Васильевич, самодержец всея России, на многие лета, и с его благоверною царицею великою княгинею Марьею, и со своими Богом дарованными чадами, а нашими государями, царевичами Иоанном и Федором, и со своими братьями, благоверными князьями Георгием и Владимиром, и с боярами, и с христоробивым воинством, и с доброжелателями, и со всеми православными христианами.

Подай же, Господи, ему, государю, чего от Господа Бога желает благого, идущего на пользу душе и телу, во все дни царства его на многие лета. Чтобы избавил Господь Бог, и Пречистая Богородица, и великие чудотворцы, царя государя великого князя и все православие от латинства, от мусульманства и от всех врагов, видимых и невидимых. А царя государя бы нашего рука высока была над всеми врагами, и царство бы его государево наполнил Бог всякой благодатью.

А кто ему, государю, добра хочет, те бы все с государем здравы были и спасены на многие лета. А недоброжелателя бы у государя и не было, — все бы хотели государю блага и

пользы. А кто за государево здравие чашу испьет, тот бы здоров был и спасен, а в чьем доме <испьют> — дом того наполнился бы всякой благодати.

Долголетнюю жизнь и здравие, и благоденствие, и успех, и победу над врагами сотвори, Господи, по милости твоей, благочестивому и христоролюбивому царю, великому князю Ивану Васильевичу, самодержцу всея России, и даруй многое благоденствие царю нашему.

Благодать Божия да будет с тобою, царь святой православный, и да утвердит она тебя, и сохранит, и побудит к добрым делам, одновременно и к хранению и к исправлению веры, и укрепит и поможет в борьбе с противниками нашими. Святой царь, царствуй и здравствуй на многие лета!

И говорят все вместе: «Сотвори, Господи, по милости твоей, и даруй многое благоденствие царю нашему».

### **ЧАША ГОСУДАРЕВА ЦАРЯ БОРИСА ФЕДОРОВИЧА**

подавая государеву чашу, говорить:

Великой и превысочайшей, пресветлой и преславной царской степени величества, благоверного и христоролюбивого, Богом избранного и Богом почтенного, Богом преукрашенного, Богом дарованного, Богом <на царство> венчанного, Богом помазанного великого государя и великого князя Бориса Федоровича, всея Руси самодержца и многих государств государя и обладателя, и его царского величества благоверной и христоролюбивой царицы и великой княгини Марьи, нашей великой государыни, и их царских детей, благоверного великого государя царевича князя Федора Борисовича всея Руси и благоверной царевны и великой княжны Ксении Борисовны, наших государей, Чаша.

Дай, Господи, чтобы благоверный, и христоролюбивый, и храбрый, и счастливый, и милостивый великий государь царь и великий князь Борис Федорович, всея Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, и с ним его царского величества благоверная и христоролюбивая царица и великая княгиня Марья, наша великая государыня, и их царские дети, благоверный и великий государь царевич князь Федор Борисович всея Руси и благоверная царевна, великая княжна Ксения Борисовна, наши государи, в своих преславных великих государствах превысочайшего Российского царства здоровы были и счастливы.

И все бы великие государи воздавали честь и славу государственному их лицу по их царскому чину и по достоинству. И чтобы всеильный Господь Бог великого государя царя и великого князя Бориса Федоровича, всея Руси самодержца, и его царского величества сына, великого государя царевича князя Федора Борисовича всея Руси, царскую их высокую и счастливую руку возвысил надо всеми их недругами, царского величества имени к чести и к возвышению, а преславным и великим государствам Российского царства к прибавлению, и к расширению, и к вечной славе, и к похвале. И все бы окрестные государи послушны были превысочайшей степени их царского величества с рабским услужением, и все бы страны перед именем их трепетали, страшась потрясения меча их и храброго подвига. И царское бы их имя славно было по всей Вселенной.

А еще бы устроил всеильный Господь Бог неусыпным попечением их царского величества святую нашу и непорочную христианскую веру превыше всех во Вселенной,

подобно сияющему в небесах пресветлому солнцу. И святые бы Божии церкви были тихи и немятежны.

И чтобы прекрасноцветущая и омолаживающаяся потомством ветвь царского их происхождения, благородное семя, в наследие великому Российскому царству было вовеки, и навеки, и в нескончаемые веки без перемен.

И царским бы их милостивым управлением во всех их великих государствах Российского царства все православное христианство было в покое, и в тишине, и в благоденственном житии навеки покойно.

## **Слово о житии святого Стефана, бывшего епископом в Перми**<sup>47</sup>

### **О произведении:**

*«Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшаго в Перми епископа» — один из наиболее ярких памятников русской агиографии. Он был создан Епифанием Премудрым вскоре после смерти Стефана Пермского, т. е. после 1396 г. Обычно время создания Слова определяют 1396—1398 гг. или, шире, 90-ми гг. XIV в., однако твердых оснований для такой датировки нет, а потому исследователи не исключают возможности, что памятник создавался в начале XV в. (Г. М. Прохоров). Как следует из текста Слова, Епифаний был хорошо лично знаком со Стефаном, а возможно, жил одновременно с ним в монастыре Григория Богослова в Ростове, так называемом «Затворе». Узнав о смерти Стефана Пермского, Епифаний стал всюду собирать сведения о нем, значительно расширив их собственными воспоминаниями, а затем приступил к созданию жития.*

*Житие Стефана Пермского, просветителя коми-зырян и первого пермского епископа, являет собой один из самых высоких образцов панегирического, экспрессивно-эмоционального стиля или стиля «плетения словес», как определил свою художественную манеру сам Епифаний. Имея целью прославить и возвеличить деяния святого подвижника, уподобившегося в своем апостольском служении великим христианским миссионерам, Епифаний прибегает к особым литературным и языковым приемам: повествование насыщено многочисленными, нанизывающимися одно на другое сравнениями, длинными рядами метафор, амплификациями (нагнетанием однородных частей речи или языковых средств: определений, синонимов, противопоставлений и т. п.). Созданные таким образом орнаментальность, торжественность и изоциренность стиля были призваны отразить особую, неземную, сущность святого и величие его подвига. Житие состоит из введения, основной части и завершения, причем основная часть разделена на 17 глав, каждая из которых особо озаглавлена. Особый интерес представляют собой 4 заключительных главки («Плачь пермских людей», «Плачь церкви Пермьския, егда обвдовѣ и плакася по епископѣ си», «Молитва за церковь» и «Плачеве и похвала инока списающа»), в которых соединены три стилистических пласта: традиционный для агиографии панегирический стиль, а также фольклорный и летописный.*

*Текст «Слова о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшаго в Перми епископа» содержит более 300 цитат из Священного Писания, причем почти половина из них — из Псалтири. Получивший за свою начитанность прозвище «Премудрый», Епифаний, по-видимому, цитировал по памяти: некоторые цитаты неточны, в них в соответствии с контекстом изменяются грамматические формы (отмечено Ф. Вигзелл), причем цитаты часто нанизываются одна на другую, образуя таким образом целые «венки цитат» на определенную тему. Интересно, что библейскими цитатами у Епифания избилует не только речь Стефана, новообращенных пермян или авторская, но*

---

47 Подготовка текста Ю. А. Грибова, перевод Е. Г. Водолазкина, Н. Ф. Дробленковой, Л. С.

и речь персонажей-язычников. Многократные повторы, разделение текста на периоды, созвучие окончаний и другие подобные приемы часто создают у Епифания фрагменты ритмизованной прозы, приближенные по звучанию к стихотворной речи.

«Слово о житии и учении...» замечательно не только своей художественностью, оно представляет исключительный интерес и как ценнейший исторический источник. В нем содержатся сведения не только о жизни Стефана Пермского, но и Епифания Премудрого, а также важнейшие исторические, экономические, этнографические сведения о Пермской земле и народах, ее населявших во второй половине XIV в. Кроме того, Епифаний включил в свое повествование самые разные экскурсы — об истории развития письма, о месяце марте как начале календарного года и др., используя при этом тексты «Сказания о письменех» Черноризца Храбра, «Чтения о житии и погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глеба» Нестора и др. Особое внимание Епифаний уделил рассказу о создании Стефаном пермской азбуки — недаром житие озаглавлено «Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископа».

Известно более 50 списков Жития Стефана Пермского (самый ранний XV в.), причем более половины из них содержат различные сокращенные (в том числе проложные) варианты текста (Г. М. Прохоров). В XVI в. митрополит Макарий целиком включил текст Жития в Великие Минеи Четьи под 26 апреля.

Текст «Слова о житии и учении Святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископа» публикуется с сокращениями по единственному сохранившемуся апрельскому тому ВМЧ (Успенский список) — ГИМ, Синод. собр., № 993, лл. 370—409 об. Исправления сделаны по рукописи ГИМ, Синод. собр., № 420, сборник, середины XVI в.; Чудовское собр., № 313, Минея Четья на апрель, конца XVI в.; Уваровское собр., № 485—1, Минея Четья на апрель, 20-х гг. XVII в.

26 АПРЕЛЯ

МЕСЯЦА АПРЕЛЯ 26 ДЕНЬ. СЛОВО О ЖИТИИ И УЧЕНИИ СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО СТЕФАНА, БЫВШЕГО ЕПИСКОПОМ В ПЕРМИ, СОСТАВЛЕННОЕ ПРЕПОДОБНЫМ ВО СВЯЩЕННОИНОКАХ ОТЦОМ НАШИМ ЕПИФАНИЕМ

Благослови, отче!

Полезно слушать или писать жития преподобных для памяти: приносить этим добрые плоды и немалую пользу слушателям и повествователям, зная все достоверно. Ибо зрение вернее слуха, но может убедить часто слушающих слух, если сказанное будет достоверно. А если <жития> не будут записаны для памяти, то все из памяти уйдет и в будущем, последующими поколениями, быстро будет предано забвению. Так, если оставшееся незаписанным бывает забыто, то не подобает житие его хоронить в забвении и словно предать молчанию глубин такое благо. Пишет же и Василий Великий в своем поучении, говоря: «Будь ревнителем право живущих, их имена, жития и дела надо написать на своем сердце». А так как я не дошел до той степени и не достиг тех высот, чтобы незримо писать на духовных скрижалях сердца, то мне пришлось писать на осязаемых хартиях.

Того ради я, дурной и недостойный, убогий инок, одержимый желанием и подвигаемый любовью, хотел бы написать малость, немного о множестве, в память, а также памяти ради нечто из добрых и чудесных деяний преподобного отца нашего Стефана, бывшего епископом в Перми. Слово о нем начинается с самого его рождения и детства; и в юности, и в иночестве, и в священничестве, и в святительстве — и до самого преставления его, добрые его дела, и похвала, и все, что подобает. Все это я обрел и, собрав здесь и там, составил его житие: что-то из молвы услышал, что-то узнал от учеников его о его учительстве и руководстве. Есть и такое, что и своими глазами я видел, иное же узнал я от него самого, беседовав с ним неоднократно; прочее же — расспрашивая старых людей, как сказано в Священном Писании: «Вопроси отца своего, и возвестит тебе, и старцы твои скажут тебе». Но молю вас, боголюбцы, даруйте мне прощение и молитесь обо мне, ибо я умом груб и не владею словом, имею худой разум и помраченного ума помысел, не бывал я в Афинах в юности и не учился у их философов ни ораторскому плетению словес, ни

витийским изречениям, ни Платоновых, ни Аристотелевых рассуждений не познал, ни философии, ни риторике не обучился, а попросту весь совершенно исполнен смятения. Однако надеюсь на всемилостивого и всемогущего Бога, «для которого все возможно», который обильно дает нам милость своею благодатью, и молюсь ему, прося у него прежде всего нужные слова, «чтобы дал мне нужное слово для раскрытия уст моих». Как некогда сказал пророк Исайя: «Господь даст мне язык для изъяснения, зная, когда мне надо будет сказать слово». И пророк Давид также сказал: «Господь даст слово». Поэтому преклоняю колени свои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, «от которого всякое даяние благо, и совершен всякий дар, нисходящий свыше», и руки простираю к предвечному безначальному Сыну Божию и Слову, взыскующий подателя даров, призываю Господа нашего Иисуса Христа, «от которого и через которого все бывает», «и все через него было, без него же ничего не было, что было». Ибо он сказал: «Не можете без меня ничего совершить», «просите, и дано вам будет». И я прошу, чтобы подал мне благодать и дар Святого Духа. Потому неизреченными печалованиями молю Пресвятого Духа, который дает дыхание всякой жизни, которым «все живет и движется», от которого истекает всяческая мудрость, от которого текут благодатные воды. Как и Иоилем-пророком сказано: «Пролью от Духа моего на всякую плоть», и другой пророк сказал: «Открой уста свои, и наполню их». Потому «открою уста мои, и исполнятся Духом, и слово изрыгну», и скажу я: «Господи, уста мои отворишь, и уста мои возвестят хвалу тебе», «да наполнятся уста мои похвалой, чтобы я восхвалил славу твою», «и умножу всяческую похвалу тебе». И как веруя в Бога Отца, так славлю и чту Сына Христа, так же благодарю и поклоняюсь Святому Духу и молюсь Святой Троице, единосущной и неразделимой.

Прошу дара, чтобы послал мне <Господь Бог> в помощь благодать свою, чтобы дал мне слово твердое, разумное и пространное, чтобы возвысил ум мой, отягощенный унынием и плотской тучностью, чтобы очистили сердце мое, покрытое многими струпьями душевных язв и телесных страстей, дабы смог я хоть немного написать и восхвалить доблестного Стефана, проповедника веры и учителя Перми, наследника апостолов, если Господь даст. Потому что может он <сделать это>, если изволит, могущий свет слепым даровать и немым — речь, и бесплодным — плод, и бессловесным — слово, и безгласным — голос. И это явлено им, ибо нахожу в Ветхом Завете, что некогда при пророке Моисее «из камня нерассекаемого», из кремневого, потекли воды, и не скудно, так, что и потоком хлынула вода; и на сухом жезле расцвел плод; и под волхвом Валаамом, бывшим при царе Валаке, некогда ослица бессловесная заговорила человеческим голосом; и из пламени росу источил, что сверх естества. Ибо всегда «возвеличивают себя дела Господни», так и ныне «да проявит Господь дивную милость свою» к нищете моей и поддержит меня в унижении моем — «и я был ничтожен и неразумен; как скот был». Остерегаюсь и боюсь, что кто-то начнет меня подозревать и вознегодует, предполагая в каждом моем слове хулу. Но я, грешный, преклоняюсь со смиренномудрием и с умилением немного побеседую с читающими и слушающими, вместе с тем молясь и прося прощения, если где-то мною будет предложена речь, достойная осуждения, или нестройная, или неискусная. Молю вас, не порицайте моего невежества и не будьте моими порицателями. Ибо, как сказано выше, не от мудрости, а от невежества понудил себя <писать>. Я к этому не годен и в этом не искусен; негодный раб, я простер свою недостойную руку, побудил свое крошечное невежество, дерзнул писать подробно. С Божьей помощью и при поддержке молитв епископа начнем зачин слова и начало повествования.

Начало его жития

Преподобный отец наш Стефан родом был русский, из славянского народа, с северной стороны, называемой Двинской, из города, зовущегося Устюгом, от почтенных родителей: сын некоего христороубца, мужа верного, христианина, по имени Симеон, одного из клириков большой соборной церкви Святой Богородицы, что в Устюге, и матери, тоже христианки, по имени Мария. Еще ребенком с малолетства был он отдан учиться грамоте, и быстро всю грамоту изучил так, что уже меньше чем через год читал каноны, затем был

и чтецом в соборной церкви. Он превзошел в своем поколении многих сверстников, выделяясь хорошей памятью и успехами в обучении и превосходя остротой ума и быстротой мысли. И был он отроком весьма благоразумным, преуспевал в духовном и телесном развитии, <снискал> благодать. К играющим детям не подходил, праздно бегающих и занятых пустыми делами, и добивающихся тщетного не слушал и с ними не общался, а от всех детских обычаев и нравов, и игр отказывался, и только в славословии подвизался, и прилежно занимался грамотой, и отдавал себя изучению всяческих книг. Вот так с Божьей помощью понемногу постиг он многое природной остротой ума своего, научился в городе Устюге всей грамматической премудрости и книжной силе.

Выросший в девственности, чистоте и целомудрии и прочитавший многие книги Ветхого и Нового Завета, понял он из них, что жизнь на этом свете кратковременна, быстротекуща и преходяща, как речная стремнина или как «цветение травы», как говорит апостол: «Проходит слава мира сего, как цветение травы: завяла трава, и цвет ее опал, а слово Господне пребывает во веки»; и другой апостол говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире»; и третий апостол говорит: «Всем нам должно явиться пред судом Христовым»; и во святых Евангелиях Господь говорит: «Тот, кто оставит отца и мать, жену и детей, братьев и сестер, дома и имущество имени моего ради, сторицею получит и наследует жизнь вечную»; и еще: «Если кто не откажется от всего названного, тот не может быть моим учеником»; и прочее много иное такое же, и подобное этому, находящееся в Святом Писании, об этом говорящее, — явилась ему любовь Божья с тем, чтобы оставить отчий дом и все свое имущество. Проще говоря, был этот отрок украшен всеми добродетелями; входя с возрастом в страх Божий, страхом Божиим и умилился. И еще будучи молодым, по возрасту юным отроком, постригся в чернецы в городе Ростове в монастыре святого Григория Богослова, называемом Затвор, близ епископского двора, при епископе ростовском Парфении, так как там было много книг, нужных ему для чтения.

Пострижен он был неким старцем, пресвитером, по сану священником, именем Максим, игуменом, по прозвищу Калина. Им он был облечен в монашеский чин и хорошо потрудился в иноческом житии, и усердно подвизался в добродетели: постом и молитвой, чистотой и смирением, воздержанием, терпением и беззлобием, послушанием и любовью, более же всего — вниманием к Божественным Писаниям. Много и часто читал он святые книги и оттуда черпал всяческую добродетель, возвращая плоды спасения «и Закону Господню поучаясь день и ночь, и был, как древо плодовитое, посаженное у истока вод» и часто насыщаемое мудростью Божественных Писаний, откуда и произрастала гроздь добродетелей, процветало образами благословения, потому и «плод свой дало во время свое». Какие же плоды? Плоды духовные, которые исчисляет апостол Павел, говоря: «Братия, плод духовный есть: любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание» и прочее. Так и этот трудолюбивый подвижник, раскрывая Божественные Писания, руководствуясь стремлением к любомудрию и целомудрию, хорошо изучил святые книги, обучаясь им весьма прилежно, всем сердцем «ища Бога» и его откровений, — потому и было дано ему Богом великое понимание Божественного Писания. <...>

Читаемые книги он имел обычай читать прилежно, но не из-за трудностей науки медля в учении, а чтобы по-настоящему понять до конца, о чем говорят слова каждого стиха, и так истолковывал. Ибо с молитвой и молением сподоблялся он разумения, и если видел он мужа мудрого и книжного, старца разумного и духовного, то спрашивал его, беседовал, поселялся, дневал и ночевал с ним, пылливо расспрашивая о неясном. Мудрая притча не ускользала от него, и труднопостижимое толкование было им находимо и познаваемо, и хотел он слышать всякое божественное повествование. От слов же и изречений, и поучений, и от рассказов старцев не отступал, всегда читал жития святых отцов, подражая им, потому что набирался от этого большего разума. С разумными были его раздумья, и с премудрыми были его размышления, и все беседы его были «в законе Господнем», как говорил апостол Павел, обращаясь с посланием к Тимофею: «Чадо Тимофей, внимай

чтению, и учению, и наставлению», «зная, кем ты научен, поскольку ты с детства знаешь святые книги, которые могут просветить тебя об Иисусе Христе».

Когда он так иночествовал, его доброй во Христе жизни удивлялись многие, не только иноки, но и простые люди, ибо предавался он подвигам изо дня в день, подобно земле плодородной, пролагая борозды разума и принося Богу разнообразные плоды благоизволения. Ибо прежде всех входил в церковь на молитву и после всех уходил, с пониманием слушая святые повествования и учительные слова и с их помощью просвещался, ведомый к большему любознанию и большему знанию. Он никогда не бывал праздным, а всегда трудолюбиво делал все своими руками, и святые книги писал искусно, умело и быстро. И по сию пору об этом свидетельствуют многие его книги, которые он, трудолюбиво сочинив, написал своей рукой, и которые являются плодами его трудов. Так у него, хорошо направляемого, и дела направлялись благодатью.

И так за многие свои добродетели он был поставлен в дьяконы князем и епископом ростовским Арсением. Впоследствии, по преставлении митрополита Алексия, повелением его наместника Михаила, прозванного Митяем, Стефан был поставлен в пресвитеры епископом коломенским Герасимом. И обучился он сам языку пермскому, и составил новую пермскую грамоту, и сочинил азбуку, ранее неизвестную, для нужд пермского народа, поскольку была в ней необходимость, и книги русские на пермский язык перевел и переложил, и переписал. Желая больше знать, он посредством своего любознания выучил и греческую грамоту, и греческие книги изучил и свободно их читал, и постоянно имел их у себя. И умел он говорить на трех языках. Владел также и тремя грамотами: русской, греческой и пермской, так что сбылось о нем то слово, что гласит: «Будут говорить на новых языках», и еще: «И немым языкам дал речь». И крепко овладела им мысль идти в Пермскую землю и просвещать ее. Для этого и язык пермский пытался выучить. Потому и пермскую грамоту создал, что очень стремился и весьма хотел ходить по Перми и учить людей некрещеных, и обращать неверных людей, и приводить их ко Христу Богу, в веру христианскую. Не только задумал, но и в дело претворил. И то он замыслил, что издавна было им обдуманно.

Слышал преподобный сей о Пермской земле, что живут в ней идолослужители, что дьявольское действо царствует в ней, потому что в Перми люди приносили жертвы бездушным кумирам и молились бесам, были одержимы волхвованием, верили в бесовство и колдовство, и кудесничество. И об этом очень сожалел раб Божий и весьма печалился об их обольщении и разгорался духом, ибо люди сотворены Богом, Богом уважены, но поработены врагом. И о том он скорбел немало, как бы их вырвать из дьявольских рук.

Подобает же разузнавать, расспрашивать и доподлинно узнать о Пермской земле: где она и в каких местах находится и между какими областями расположена, и какие реки ее омывают и через нее протекают, какие народы окружают ее, живя по соседству с ней.

Вот имена мест и областей, и земель, и иноплеменников, живущих вокруг Перми: двиняне, устюжане, вилежане, вычегжане, пинежане, южане, зыряне, галичане, вятчане, лопари, корелы, югра, печера, вогуличи, самоеды, пертасы, пермь великая, прозванная чувсовой. Одна река, название которой Вымь, протекая через всю землю Пермскую, впадает в Вычегду. Река другая, под названием Вычегда, вытекающая из земли Пермской и стремясь к северным пределам, впадает в Двину в сорока поприщах ниже города Устюга. Третья же река, называемая Вяткой, течет с другой стороны Перми и впадает в Каму. А река четвертая называется Кама. Река эта обходит вокруг всей земли Пермской и протекает через нее, по ней многие народы расселены. Кама же течет по прямому направлению, на юг, и своим устьем впадает в Волгу близ города под названием Болгар. Неизвестно как из одной местности вытекают две реки — Вычегда и Кама, ибо воды одной текут на север, а другой — на юг. Всякому, желающему идти в Пермскую землю, удобнее путь от города Устюга рекою Вычегдою вверх, пока не достигнет самой Перми. Но оставлю об этом много говорить, чтобы не пускаться в некое о том повествование.

А мы возвратимся к прежней речи о Пермской земле, о которой я сейчас говорил и начал рассказывать о том, какие народы живут вокруг нее, располагаясь в северных землях, что, как я думаю, в пределах Хамовых. И так Пермская земля осталась в первоначальном идольском обольщении, непросвещенной святым крещением, не наученной вере христианской. Ни от кого не слышали они слова, так, чтобы кто-нибудь им проповедовал о Господе нашем Иисусе Христе. Ни апостолы не заходили к ним, ни учителя, ни проповедники, и никто им не благовествовал слова Божьего. Но скажет кто-нибудь: «Как это не заходили апостолы в Пермскую землю?» Ведь пророк Давид сказал: «По всей земле разошлась речь их, и до пределов вселенной слова их». Я говорю не о том, что обленились апостолы или пренебрегли проповедью, а что много потрудился каждый из них до последнего вздоха своего, «окончили течение жизни своей», не оставляя этого, во всех народах проповедуя Христа. Из них один апостол Павел четырнадцать народов просветил. Так же и другие апостолы, ученики Господни, хотя и не были в Перми, ходили по многим другим землям и во многих странах проповедовали слово Божие, и многие народы были ими научены и крещены. Ибо не один пермский народ на земле в поднебесной, а много народов помимо Перми есть во всей вселенной, которых крестили апостолы. Хотя в Перми и не удалось им побывать, но во многих других странах проповедовали слово Божье и во многих землях благовествовали святое Евангелие Христово, и у многих народов их проповедью вера христианская воссияла. <...> Но когда сам небесный владыка Господь Бог наш своею благодатью пожелал оказать милость своему же творению, не дал им до конца погибнуть в идольском обмане, но через много лет проявил милосердие к своему созданию, пожелал их спасти, привести и приблизить к своей благодати, желая в последние лета, словно в одиннадцатый час, как сам говорил в святом Евангелии, рассказывая притчу: «Царство Небесное подобно человеку зажиточному, который вышел рано утром нанимать работников в свой виноградник и договорился с ними по сребренику на день. И выйдя в 3 час, увидел других, стоящих праздно, и сказал им: «Идите и вы в виноградник мой и, придя, работайте, и что будет вам следовать, дам вам». Они же пошли. В шестой и девятый час опять поступил так же. В одиннадцатый же час нашел он других стоящих праздно и сказал им: «Что стоите здесь весь день праздно, пермяки, вас никто не нанял?» Они же, отвечая, сказали ему: «Никто нас не нанял»», то есть: «Никто нас не научил вере христианской, никто нас не просветил святым крещением, никто не ввел в духовный виноград», то есть в Закон Господен. «Как же можем мы спастись, если никто не научит нас?» Как Филипп апостол сказал евнуху: «Понимаешь ли ты то, что читаешь?» Тот же ответил: «Как могу, — сказал, — понимать, если никто не научит меня?» И Павел апостол сказал: «Как же могут веровать без проповедующего?» Но что сказал хозяин виноградника? — «Что стоите весь день праздно?» Праздными от славословия Божественного и от служения Закону. «Что стоите весь день праздно?» Так если праздны, то послушайте псалом, говорящий: «Освободитесь от дел и познайте, что я есть Бог». И еще сказал: «Знайте, знайте, что я Бог ваш».

«Что стоите весь день праздно?» Что не веруете в Бога истинного, который сотворил небо и землю? Что не служите «Богу живому»? Потому не творите служб идолам и не служите дьяволу, а «служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Воспримите наставление Господне, чтобы когда-нибудь не прогневался внезапно Господь и не сгнуть вам с пути праведного, когда возгорится ярость его. Блаженны все, уповающие на него». «Что стоите праздно», и не берете <на себя> ига служения и ярма Закона? Но «возьмите ярмо мое на себя и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легкое». «Что стоите весь день праздно?» Воистину «весь день», то есть все дни жизни своей и все годы свои пребывали в неверии пермяки, в идолослужении. Ибо никто не приходил к ним, кто бы им благовествовал слово Божье. Но когда соблаговолил Спас наш, как уже и раньше мы сказали, в последние дни, при окончании лет, в конечные времена, к исходу исчисления седьмой тысячи лет, смилостивился над ними Господь наш, не дал им погибнуть в идольском обмане, но

воздвиг Бог угодника своего Стефана в те времена и поставил его проповедником и служителем слову истины и воплощающим таинства его, и учителем Перми. Как прежде в Израиле Веселеила, исполнил его мудрости, разума и умения. Исполнился он этого и возгорелся теплом веры Христовой и сильным желанием, захотел идти в Пермскую землю и учить их православной вере христианской.

И задумав это, пришел он к вышеупомянутому владыке Герасиму, епископу коломенскому, бывшему наместником на Москве, древнему и благообразному старцу, который поставил его пресвитером, — желая у него благословиться, чтобы благословил его на этот добрый путь и на задуманное праведно путешествие и доброе проповедание <веры>. Ибо в это время на Москве не было никакого митрополита: Алексей отошел к Богу, а другой еще не пришел. Поэтому должно ему было с подобающим благочестием испросить благословения и молитв, и грамот, и разрешения от старших среди святителей. Войдя к Герасиму в один из дней, сказал он ему: «О отец епископ, господин, благослови меня, владыко, пойти в языческую землю, называемую Пермью, в народы заблудшие, к людям неверным, к людям некрещеным. Хочу учить их и крестить их, если Бог споспешествует мне и поможет, и посодействует, и твои молитвы помогут мне. Пусть либо просвещу их, обращу их и приведу их ко Христу Богу, либо сам сложу свою голову за Христа и за веру, и за доброе исповедание, как сказал апостол: «Даровано нам не только в него веровать, но и за него страдать». «Потому с терпением отправимся на предстоящее подвижничество, взирая на основателя и создателя веры Иисуса». Того ради «ныне отпусти меня, раба своего, владыка, по благословию твоему с миром» и помолись обо мне, чтобы я благовествовал в странах и Бог мира «направил мой путь», «чтобы направил стопы мои» и «направил ноги наши на путь мирный», ибо вам дана благодать молиться за нас». Преподобный старец епископ Герасим, боголюбивый святитель, видя и слыша это, очень удивился и сильно изумился. Видя его благочестивое предложение и доброе дерзновение и долго побеседовав с ним о душеполезном и собираясь его отпустить, взяв его, повел в святую церковь и, сотворив молитву и осенив его четным воздвизальным крестом, благословил его, отпуская, и сказал: «Чадо Стефан, сын нашего смирения во Святом Духе, сослужитель наш и сопресвитер! Иди, чадо, с миром и с Божьей помощью и благодатью. Господь да благословит тебя, спасет тебя и сохранит». <...>

И так пошел он, взяв с собой мощи святых, антиминсы и остальное потребное, что надобно для освещения церкви, и святое миро, и освященное масло, и иное подобным же образом употребляемое, с великим дерзновением устремился по пути вышеупомянутому и лицо свое обратил к земле Пермской, ибо было лицо его устремленным к вышеупомянутой земле, «к земле забытой», «непроходимой и безводной, к земле пустой», охваченной голодом. Под голодом разумею не голод хлебный, а голод, когда не слышно слова Божия, о чем и Давид сказал: «Во дни голода насытятся». Он пошел в землю, где не ступала нога святых апостолов, учеников Господа. <...>

Сперва Стефан много «зла претерпел» от неверных, некрещеных пермяков, озлобление, ропот, поругание, хулу, укору, унижение, досаду, поношение и вред. Иной раз и угрозы: угрожали ему смертью, в другой раз хотели его убить, а однажды обступили его со всех сторон с палицами и с большими дубинами, желая предать его смерти; а раз еще собралось против него множество крамольников, и принесли с собой много охапок сухой соломы, и был уже ими принесен огонь, и солома вокруг него обложена: возжаждали они учинить сожжение раба Божия и этим огнем задумали предать его без милости смерти. И пока это готовилось, раб Божий, видя предстоящую смерть, осознал слово Давида, гласящее: «Все народы окружили, обступили меня, как пчелы соты, и перегорели, как огонь в терновнике; именем Господним им противился». «Десница Господня сотворила силу! Не умру, но жив буду и возведу дела Господни. Наставляя, наказал меня Господь, а смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, и, войдя в них, исповедаю Господа». «Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?» «Не испугаюсь тьмы людей, нападающих на меня со всех сторон и враждующих со мной всеу». «Когда же в

печали моей призвал я Господа, услышал он меня в пространстве». В печали же таковой, словно в муке огненной или, словно стоя посреди нестерпимого пламени, призывал он Бога, говоря: «Поспеш, щедрый, и, будучи милостив, поспеш на помощь мне, ибо желая — можешь. «Боже, услышь мой зов о помощи, Господи, поспеш мне на помощь». «Господи, что умножились притесняющие меня? Многие на меня восстали», «многие боролись со мной». «Зубы их — оружие и стрелы, язык их — меч острый». «Сеть приготовили ногам моим. Смирили душу мою. Ископали передо мной яму». «Задумали поколебать стопы мои: спрятали для меня сеть и силки, раскинули сеть для ног моих, при дороге расставили для меня ловушку». Весь день слова мои были им мерзки. «Весь день слов моих гнушались», «Весь день ополчались на брань». «Борясь весь день, стеснил меня». «Весь день в сетованиях провел». «Господи, пред тобой все желание мое!» Желание же мое в том, чтобы отвратить народ этот пермский от идольского обмана, ибо «погрязли народы в зле, которое сотворили; в той сети, которую они припрятали, завязла нога их». «В делах рук своих увяз грешник». Дела рук своих поклонились они, кумирам, «не знали, не понимали, во тьме ходя». Но «пусть опомнятся и обратятся к Господу все концы земли и пусть поклонятся пред ним все племена язычников, ибо Господне есть царство, и он обладает народами». «Ибо все народы, сколько создал ты, Господи, придут и поклонятся пред тобою, Господи, и прославят имя твое» вовеки и «живы будут сердца их во веки веков». «Ты же, Господи, заступник мой, слава моя, превозносящий голову мою», «потому что ты прибежище убогим, помощник своевременный в печалях. Пусть уповают на тебя знающие имя твое, ибо ты не оставил ищущих тебя, Господи» и «не забыл зова убогих. Помилуй меня, Господи, узри унижение меня врагами моими, возносящий меня от врат смертных, чтобы возвестил я все хвалы тебе» в этой стране и «среди множества людей восславлю тебя» и среди людей пермских прославлю тебя. Да явлю имя твое людям этим, «чтобы тебя узнали, истинного Бога». Ты же, Господи, человеколюбец, всемогущий, узри мою немощь, пошли помощь свою в помощь мне. «Помоги мне, Господи, Боже мой, и спаси меня по своей милости». «Господи, спаси же, Господи, споспешествуй» в благовествовании, помоги мне, Господи, и пособи обратить людей этих и привести их к тебе. Собери, Господи, людей своих рассеянных и позови «овец своих заблудших». Ибо сам сказал ты, Господи: «Я и других овец имею, которые не из этого двора, и их мне должно привести, и им голос мой слышать, и будет одно стадо, один пастух». Ибо ты истинный «пастух и блюститель душ наших», «единственный без греха». Не отвергни дел рук твоих, разреши рабов твоих от уз дьявольских, от идолослужения. «Просвети им их душевные очи» и дай же им мудрость узнать тебя и «познать тебя, единого истинного Бога», потому что нет иного Бога выше тебя, и кроме тебя иного Бога не знаем, «имя твое призываем», «чтобы прославилось имя твое» во веки веков. Аминь».

О церкви пермской

Помолясь Богу, раб Божий Стефан решил заложить по молитве святую Божию церковь. Таковая церковь была основана и поставлена, та, которую оградил он превеликой верою и теплотой безмерной любви, которую воздвиг чистой совестью, которую создал горячим желанием, которую украсил всяческими украшениями, «как невесту добрую и нарядную», которую наполнил всем, что должно быть в церкви, которую по завершении строительства освятил великим освящением, которую создал высокой и прекрасной, которую обустроил красиво и хорошо, которую украсил вправду чудно и дивно. И она поистине дивна, как об этом и Давид свидетельствует, говоря: «Свята церковь твоя и дивна по правде». Дивная же из-за многих ей похвал, многими похвалами ее хвалюсь. Не из-за того, что человеческими умениями или мастерскими ухищрениями и замыслами, и вымыслами расписана, но поскольку украшена Божьей славой, и в добродетели обряжена, и Божественными славословиями изукрашена, и человеческим спасением расцветена, и в красоту православия облечена. Ибо в ней являются величественные тайны, в ней же служится святая литургия, в ней же совершается причастие Божественных Тайн, в ней же спасаются души многих людей, в ней же находится многим людям убежище, в ней же плотские грехи

омываются крещением, в ней же духовные мерзости очищаются покаянием и верой. Поставил он эту церковь на месте, называемом Усть-Вымь, где река Вымь впадает в реку Вычегду, где впоследствии была создана его большая обитель, которая потом и была названа его епископией. Когда же освящал он эту церковь, назвал ее во имя Пресвятой Пречистой Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, честного ее Благовещения. Празднование же этого праздника установлено в марте месяце в 25 день. <...>

Придя по своей воле, он с усердием совершил свой труд и претерпел великое противостояние, и явил большое старание и труд, и великий подвиг, очень печалился о людском прельщении и весьма огорчался, видя их одержимыми волхвованием и помраченными идолослужением, и об этом он очень скорбел, и все дни и ночи молился Богу об обращении людей. Со стенанием же и с плачем приносил Богу со слезами молитву, говоря: «Собери, Господи, людей своих рассеянных и овец своих заблудших» и введи их в церковь святую твою, соедини их со святой своей соборной апостольской церковью, причисли их к избранному твоему стаду, чтобы тебя славили с нами во веки веков. Аминь». Однако не переставал он по апостолу учить и наставлять, молить и запрещать, указывать им путь истинный и «наставлять их на стезю праведную», а суету кумирную обличать и обольщение идольское посрамлять, желая привлечь их к познанию Божию. Но люди, прежде пребывавшие во мраке, не понимали язычники Божьей благодати, то, что было для них благом, воспринимали как нечто бесполезное, с трудом верили и не только здесь же, сразу, не слушали сказанного, но и гневались на благодетеля и ненавидели творящего им добро, и, неблагоприятные, роптали на учителя.

Раз еще в один из дней, найдя раба Божьего уединившимся, двинулось на него множество пермяков, неверных и некрещеных, и устремились на него, словно для убийства. И нападая, нападали на него с яростью, гневом и воплем, будто желая убить и погубить его. Все единодушно ополчились на него и, словно сонмище, став вокруг него, «напрягая, напрягли луки свои» и, сильно их на него натянув, — к тому же и стрелы в их луках были смертоносными — меткими стрелами своими застрелить его жаждали и так хотели наконец предать его смерти. Божий же страстотерпец ничуть не убоился нападающих на него и порыва воюющих, не убоился и их выстрелов, по сказанному: «Не убоишься стрелы, летящей днем». И не боялся он, когда стреляли в него, воспринимая их стрелы, как младенческую стрельбу. <...> Божий же раб обратился к пермским людям и сказал им: «О братья! Обратитесь, сыновья человеческие, к Богу, Богу-Вседержителю, верую, покаянием, крещением, обращением обратитесь! «Если не обратитесь, оружие свое на вас отточит и изострит». <...> Мне ваших стрел не велено опасаться Владыкою моим. Ибо так сказано в святом Евангелии: «Идите, вот я посылаю вас, как овец среди волков». «Не бойтесь убивающих тело, а душу не могущих убить. Бойтесь же больше того, кто может и душу, и тело погубить, а по убиении ввергнуть в геенну огненную». Истинно говорю вам: его бойтесь. Наносимая нам вашими стрелами телесная смерть — недолговечная, кратковременная и преходящая смерть, и более того — исходатайствует не смерть, а жизнь. Горестно и тяжело умереть человеку духовной смертью, «ибо смерть, — сказано, — грешнику люта» — то есть духовная смерть. Ибо смерть души — мука вечная».

В один из дней преподобный раб Божий, помолясь Богу, сотворил молитву и после молитвы пришел в некое место, где была их знаменитая кумирница, и задумал разрушить их идолов, и опрокинул их жертвенники, сравнял с землей их богов и Божьей силой знаменитую их кумирницу зажег и пламенем запалил ее. Все это он сделал один, когда идолослужители этого не знали и служителей кумирницы здесь не было, и «не было избавляющих», ни отнимающих их. Одержав эту победу, он не убежал тут же с того места, не устремился куда в другое место и никуда не ушел, но сидел на том месте и оставался, словно ожидая чего-то надвигающегося на него, и укреплялся Божьей благодатью. Когда же внезапно они об этом узнали, то сообщили друг другу, и вот собирается вся их толпа. И когда они сбежались в большой ярости, с великим гневом и воплем, то, как дикие звери,

устремилась на него — одни с палицами, а многие другие похватили в руки топоры, заточенные с одной стороны. Обступили его со всех сторон и хотели тут же зарубить его остриями топоров своих, крича все разом, бранясь и испуская непристойные вопли. И, окружив его, стали вокруг него и замахивались на него своими секирами. И выглядел он среди них, «как овца среди волков»: не бранился, не сражался с ними, а с кротостью проповедовал им слово Божье и учил их вере Христовой, и наставлял на всяческую добродетель. И, воздев свои руки, словно на смерть приготовившись, со слезами обратился к Богу: «Владыко, в руки твои предаю тебе дух мой, покрой меня крылами своей милости. Ибо за имя твое святое себя отдал и уподобился овце на заклании, потому что за тебя пожелал претерпеть все это, чтобы явить твое имя этим людям. Обрати, Господи, поганых в христианство, чтобы и они были братьями нашими, приняв святое крещение, пусть вместе с нами славят тебя, пусть в этом и среди них прославится пресвятое имя твое во веки веков. Аминь». Так молясь Богу, он остался цел, и никто не поднял на него руки, ибо не был даже ударен или ранен кем-либо, но Божьей благодатью был сохранен от них и остался цел и невредим. И так прошел посреди них идя, ибо Бог сохранил своего угодника и служителя, как сказал пророк Давид: «Не допустит Господь железа грешных над судьбой праведных», «ибо Господь сохранит преподобных своих; во веки они сохраняются». Как обратился к Богу пророк Иеремия: «Господи, вот не умею говорить, потому что юн». Господь же сказал ему: «Ко всем, к кому тебя пошлю, пойдешь, и что говорить тебе велю, скажешь: и не испытывай страха перед лицом их, ибо я пребываю с тобой все дни, избавляя и спасая тебя». И еще Давид говорил: «Не предай меня в руки притесняющих меня» и «не предай меня преследующим меня», но воспрепятствуй борющимся со мной, и «пусть поймут язычники, что ты — Господь Бог, один на всей земле».

#### Поучение

Тогда раб Божий, помолясь Богу, снова попытался учить их, и, став на месте ровном и всем известном, начал учить народ о царствии Божьем и, будто апостольским словом, сказал им: «О люди, что вы делаете? И я такой же, как вы человек, но благовествую вам слово Божье и повелеваю вам, говоря: отступитесь от этих суетных идольских жертвоприношений, оставьте кумирское заблуждение, избегните <Страшного> суда и огня вечного. Ради чего поклоняетесь вы идолам и почитаете их, и называете богами? Болваны изваянные, вырубленные ваши кумиры — это бездушное дерево, «дело рук человеческих: уста имеют, а не говорят, уши имеют, а не слышат, глаза имеют, а не видят, ноздри имеют, а не обоняют, руки имеют, а не осязают, ноги имеют, а не идут». И не ходят, и не сойдут с места, и «не издадут звука своими гортанями», и не нюхают своими ноздрями, и жертв приносимых не принимают, не пьют и не едят. «Подобными им да будут создавшие их и все, надеющиеся на них». А тот, в кого веруют христиане, и кого чтут, и славят, его и я вам проповедую, он — истинный Бог, и нет иного Бога кроме него. Потому-то, мужи пермские, и братья, и отцы, и дети, послушайте меня, добра вам желающего, веруйте в Господа нашего Иисуса Христа, которого я вам сейчас проповедую. Это ведь Христос, истинный Бог наш, это ведь Спаситель всех людей-христиан, верующих в него. Возьмите свет разума, взирайте на высоту мысленную духовными очами вашими. Отрекитесь от болванов, колдовства и всех исконных пермских обычаев. Познайте истинного Бога и Творца всего, который может спасти ваши души. Ибо я пришел к вам, братья, и являю вам благодать, данную мне, что «если уверуете и креститесь, спасены будете», — и возвещаю вам царство небесное. «А если не уверуете и не креститесь, то осуждены будете» на муку вечную».

И долгое время так учил он и многих увещевал оставить суетное пермское идольское заблуждение и веровать в Господа нашего Иисуса Христа, и те дали обет креститься. Хотя прежде они устремлялись на него с яростью и гневом, — благодаря кротости его смирялись. Хоть раньше нападали на него для убийства, с дубинами, — от добрых слов его и священного учения его превращались в кротких, становились тихими и мирно

разговаривали, расходясь, не причинили ему никакого зла, а многие из них крестились. И так мало-помалу умножалось стадо Христово и постепенно христиан прибывало. Постепенно, сказано, и город строится. Прочие же остались некрещеными. Имели они, однако же, всегдашний обычай собираться вместе и сходитья в одно место — или пермяки приходили к нему в ту новую поставленную церковь, о которой выше сказано, или же он к ним в какое-нибудь условленное место для споров и прений. Однако с тех пор, как была создана церковь, в нее каждый день стали приходить и некрещеные пермяки, не на молитву еще зачистив, не ради жажды спасения или молитвы прибегая, а желая увидеть красоту и величие церковного строения. И стояли, наслаждаясь увиденным, и затем уходили. А расходясь, неверные между собой говорили друг другу: «Велик, должно быть, этот Бог христианский, и видим, и думается нам, что разорит он и древние храмы, и старые жертвенники богов наших, ибо не можем мы словесно противостоять тому игумену, что недавно пришел из Москвы. Если не силой и притеснением, то, покарвав побоями и нанеся ему многочисленные раны, прогоним его, и таким образом будет изгнан из земли нашей, чтобы вся наша земля не исполнилась его учения. Однако же у него дурной обычай: не начинать схватки первым, чего мы всегда только и ожидаем от него. Но он не делает этого, а, наоборот, ждет от нас начала боя, и потому мы с ним не скоро сразимся. Если бы первым осмелился поднять руку, то давно бы мы его, растерзав, разорвали, и быстро была бы взята от земли жизнь его и «память его с шумом». Но поскольку он наделен долготерпением, мы не знаем, что с ним делать».

Тогда стало очевидным, что люди разошлись и разделились. И случилось народу раздвоиться на две части, и одна называлась новокрещеными христианами, а другая часть прозывалась неверными идолослужителями. И не было между ними согласия, но распря, и не было мира, но разногласие. Потому идолослужители ненавидели христиан и не любили быть с ними вместе. Как сказал апостол Павел: «Что общего у света с тьмой; или какая общность у верного с неверным; или какое общение у церкви с идолами; или какое согласие истины с беззаконием?» Вот потому, как прежде было сказано, идолослужители ненавидели христиан и не переставая хулили и бранили преподобного и новокрещеных христиан, ругаясь и гримасничая, и дразня, и вредя. А поскольку узнавали, что христиан становится все больше, постольку разъярялись на них и не давали им жить спокойно, причиняли им беды и немалые обиды. Видя это, преподобный не в силах терпеть, как досаждают христианам, много печалился об этом и часто со слезами молил Бога-человеколюбца денно и нощно, чтобы обратил он их от идольского соблазна к истине.

И еще как-то, спустя несколько дней, собрались наиболее жестокие пермские мужи, люди неверующие и множество еще некрещеных. Среди них многие — волхвы, а другие — кудесники, иные же — чародеи и прочие их старцы, которые стремились уничтожить веру христианскую и подолгу спорили с ним, вводя в соблазн, хваля свою веру, хуля и порицая веру христианскую. И делая это часто, они ему досаждали, противились ему в вере. Стефан же Божьей благодатью и своим умением брал над всеми ними верх. Хоть и много было вопрошений, хоть и большой между ними спор был, но все были им побеждены. Ибо, наставляя, привел им много изречений из святых книг, из Ветхого и Нового Завета и, одолев, посрамил их. И потом еще многократно бывали они им побеждены, и с тех пор более никто и нигде с ним не смел спорить о вере. Ибо всем им заграждал он уста и обличал возражающих, и давал отповедь спорящим дивный сей муж, чудесный дидаскал, исполненный мудрости и разума, который смолоду изучил всю мирскую философию, книжную мудрость и искусство грамматики, впоследствии же за доброе исповедание и чудесное наставление его, за его выдающееся учение дан был ему дар благодатный и слово разума и мудрости. Как Спаситель сказал в святом Евангелии: «Потому всякий книжник, наученный царствию небесному, подобен домовитому человеку, который выбирает из своих сокровищ старое и новое». Так и Стефан из старых и новых книг — из Ветхого и Нового Завета — подбирал слова, поучая, вразумляя, наставляя, обращая, заботясь о людях заблудших, желая их освободить от пут дьявольских и прелести

идольской. Ибо того ради и терпел он от них ежедневно, сильно страдая, утвержденный верою в таковых подвигах, искушениях и бедах, как твердый камень, молясь Богу, творя молитвы и пост, алкая и жаждая, желая спасения Перми, претерпевая от них много обид и не сердясь на них за все случившееся с ним. Не оскорбился, не возроптал, не будучи малодушным и не помня зла, но еще более усердствовал в любви для спасения их, желая их обращения, всех поучая и наставляя, моля и успокаивая: старцев их — словно отцов, людей среднего возраста — словно братьев, юных и малых детей — словно чад своих.

Когда же изволил Бог по своей благодати, то пожелал просветить землю Пермскую святым крещением, ибо услышал Бог молитву и слезы своего угодника Стефана и «не забыл зова» его, «услышал Господь глас плача» его и «не пренебрег молитвой» и прошением его, как пророк Давид сказал: «Волю боящихся его творит и молитву их услышит, и спасет их», «желающий, чтобы все люди спасены были и достигли познания истины», «не желающий смерти грешников, но обращения и покаяния ожидая при жизни их». И тогда собрались все вместе пермяки, живущие в земле той, от мала и до велика, и крещеные, и некрещеные, потому что были они в удивлении, и начали говорить промеж себя: «Слышали ли, братья, слова того мужа, который пришел из Руси? Видели ли терпение его и чрезвычайную его любовь к нам? Как среди таких притеснений не ушел отсюда — а мы показали ему большое пренебрежение и неповиновение! И не разгневался на нас за это, и ни единому из нас не сказал худого слова, не отвернулся от нас, не бранился, не дрался с нами, но с радостью терпел все это. Он послан Богом нам на жизнь и на спасение. И то, о чем говорит, — царство небесное и мука вечная, и отмщение, и воздание каждому по делам — если бы это не так было, не стал бы он этого терпеть. Но — и кумирни наши разорил, и богов наших сравнивал с землей, и не смогли они ему повредить. Воистину, он — раб великого и «живого Бога, который сотворил небо и землю», и все те слова, что были им произнесены, истинны. Но пойдемте, наконец, уверуем в Бога, которого Стефан проповедовал, и скажем ему: «Слава тебе, небесный Боже, пославший нам своего слугу, чтобы спас нас от дьявольского заблуждения». Тогда захотели креститься некрещеные пермяки, и собралось к нему много людей, народ: мужчины, женщины и дети, как бы на поучение. А он, увидев их, идущих на крещение, весьма их обращению обрадовался и с радостным сердцем и с усердием принял их и, отверзши уста свои, снова учил их по обычаю. И многое рассказал им о Боге и о законе его, и о христианской вере, и о жизни, и о смерти, и о Страшном Суде, и о «воздаянии каждому по делам его», и о страшных и грозных муках, и о жизни вечной, приводя их к знанию, произнося слова святого Евангелия и божественных апостолов, и богогласных пророков и преподобных и богоносных отцов. Они же вдоволь послушали учения его и с радостью приняли проповедь его, и с готовностью поверили словам его. Ибо Бог, милосердный человеколюбец, своею благодатью открыл им ум и «очи сердечные» для спасения, и все ему били челом, припадая к его ногам, прося святого крещения и знамения Христова. Он же, знаменовав их, каждого из них своей рукой перекрестив и огласив, и сотворив молитву, и благословив, отпустил каждого из них с миром восвояси, наказав им ежедневно ходить в святую церковь Божью, а оглашенным приходить к оглашению, и каждый день творил о них молитву. И через положенное краткое время, вдоволь помолившись о них, обучив их православной христианской вере, с женами их и детьми крестил их во имя Отца и Сына и Святого Духа и научил их пермской грамоте, которую к тому времени создал.

Да всем им, новокрещеным мужам, и юношам, и отрокам, и маленьким детям наказал учить грамоту, Часослов в точности, и Осьмогласник, и псалмы Давидовы, и все прочие книги. Из обучающихся грамоте, тех, кто научился читать святыя книги, он выбирал одних — для поставления в попы, других — в дьяконы, а иных — в иподьяконы, чтецы и певцы, перелагая и переводя им службу, уча их писать пермские книги; и сам, помогая им, переводил русские книги на пермский язык и передавал им. И так с тех пор друг друга учили грамоте и, переписывая с книги книгу, умножали их, пополняя их число. Видя это, преподобный радовался душой и не переставал благодарить Бога день и ночь, моля о

спасении и об обращении людей, постоянно людей уча для того, чтобы стадо Христово росло и умножалось день ото дня, а неверных стадо умаялось бы и убывало, и оскудевало. И так с Божьей помощью, благоволением и содействием, поставил он и другую святую церковь — хорошую и чудесную, ранее упомянутого и указанного вида — и в ней поместил иконы и книги; да и третью церковь на ином месте создал. И так было ему угодно поставить не одну церковь, а много, поскольку новокрещенные пермские люди жили не в одном месте, но здесь и там, одни ближе, другие дальше. Поэтому ему и понадобилось ставить разные церкви в разных местах, по рекам и селеньям, где каждой и подобало быть, по его разумению.

И так святые церкви в Перми создавались, а идолы сокрушались. Какое рвение проявил преподобный против болванов, называемых кумирами, как возненавидел он их за великую их мерзость! И лютой ненавистью их возненавидел, и полностью их ниспроверг, и идолов поправ, кумиров сокрушил, с землей сравнял их богов, которые суть болваны высеченные, изваянные, выдолбленные, резьбой вырезанные. Все окончательно низверг и топором их посек, и пламенем их пожег, и огнем их испепелил, и без остатка истребил их. Сам со своими учениками, не лентясь, обходил леса и по селеньям расспрашивал, и в домах разыскивал, и в лесах находил, и в станах обретал, и здесь и там — всюду находил их, пока все кумирни не уничтожил и до основания не искоренил их, и ни одна из них не уцелела. А что было повешено возле идолов — или как кровля над ними, или как жертвоприношение, или принесенное им как украшение, или шкуры соболей, или куниц, или горностаев, или ласок, или бобров, или лисиц, или медведей, или рысей, или белок — все это, собрав, в один сарай сложил и предал огню. Идолов же сначала ударял обухом в лоб, а потом раскалывал их топором на мелкие поленья и, разведя огонь, и то и другое сжигал на огне — кучу с куницами и кумира вместе с ними. В свое же владение этих ценностей не брал, а все сжигал огнем, говоря, что это достояние лукавого. И этому очень удивлялись пермяки, говоря: «Почему он не брал все это для своей пользы, почему не искал себе в этом выгоды, почему отверг и пренебрег стольким имуществом, почему бросил и потоптал ногами столько богатства?» И сказали они друг другу: «Поистине, это Божий раб, это Божий угодник, поистине, он послан Богом для нашего спасения, и все это он делает Бога ради и нашего ради спасения, а не для своей выгоды или владения сокровищами, и делает это ради утверждения христианской веры, а не ради своей прибыли, корысти и стяжания, как сказал апостол: «Ища не своей пользы, а пользы многих, чтобы спаслись» — о чем и говорил, что это надо делать и учить этому <других>«. Ибо запретил преподобный своим ученикам и прислуживавшим ему отрокам, не велел ничего совершенно брать из кумирен — золотого ли, серебряного, меди, железа, олова или чего иного и прочего из уже названного.

Были в Перми кумиры разнообразные — одни большие и малые, другие средние, а иные знаменитые и прославленные и многие прочие. И кто может исчислить их? Одним кумирам редко кто молился, им мало воздавали честь, других же почитали многие не только ближние, но и дальние селенья. Были у них некоторые кумиры, к которым приходили издалека, и из дальних мест приносили дары — и в трех днях, и в четырех, и в неделе пути живущие — со всяческим усердием присылали подношения и дары. И как могу описать их поступки? Ведь бесы, овладев разумом и волей Перми, наполнили всю страну и землю ту идольским обманом. Это было у них от большого невежества, незнания и темноты. Так и существовали весь свой век изо дня в день, и в таком обмане жили все дни своей жизни, пока не посетил их свыше наш Спаситель милостью своей и не поставил угодника своего Стефана, вдохнул в него свою благодать, которой и просветил их. <...>

В один из дней пермяки пришли к нему и спросили его, говоря: «Молим тебя, добрый наш учитель и наставник правоверия, скажи нам, почему ты загубил столько богатства — всего вышеназванного, находившегося в наших кумирнях, — и пожелал лучше огнем сжечь, чем взять себе в казну или в свою ризницу для нужд своих или учеников, что с тобою, как сказано: «Ибо достоин работник платы своей»». Отвечая на это, сказал им преподобный:

«Разве не слышали вы божественного апостола Павла, говорившего ефесянам: «Помните, — сказал, — что три года день и ночь я не отдыхал, со слезами уча и наставляя каждого из вас». И еще: «Ни серебра, ни золота, ни одежд, ни иного имущества — ничего не захотел: сами знаете, что потребностям моим и находящихся со мною послужили руки наши; во всем показал вам, что, так трудясь, должно поднимать немощных: ведь давать — большее благо, чем брать»».

О прении с волхвом

Пришел однажды некий волхв, старец-чародей, лукавый предсказатель, знаменитый кудесник, глава волхвов, старейшина знахарей, начальник отравителей, всегда занимавшийся искусством волхвования, будучи ревностным служителем колдовского наваждения. Имя ему — Пан-сотник, которого некрещеные пермяки издавна почитали более всех иных колдунов, называя его своим наставником и учителем, и говорили о нем, что его волхвованием держится Пермская земля и что идольская вера утверждается учением его, который был вполне неверным, некрещеным, всегда ненавидел христианскую веру и не любил христиан. Некрещеным же и неверным пермякам не велел веровать и креститься, желающим же веровать препятствовал и запрещал, веровавших же и крестившихся совращал. Если пойдя куда-то он встречал неких пермяков-христиан, новообращенных и новокрещеных, но еще не твердых в святой христианской вере, он начинал их совращать и расслаблять их старым своим учением, ложным и суетным, и многими словами волшебными и чародейскими старался их уговорить. Если же кого не мог словами и своими возражениями переспорить и прельстить, то привлекал их лаской и подкупом — ибо иначе не мог никого переманить из веры христианской, кроме как за плату и подачку; ибо кого словами многожды не мог уговорить, того подкупом хотел одолеть. Было его учение исполнено всяческой хулы и ереси, и вреда, и неверия, и кощунства, и смеха, приличествующего детям.

Услышав это, преподобный весьма огорчился и очень опечалился, ибо было ему это не любо, «потому что, — сказал, — все, что я созидаю, он, напротив, разрушал». И многократно спорили они об этом между собой, и не была беседа их ровной. И не было конца речам его, ибо один другому не покорялся, тот же этому не повиновался, и тот того не слушал, и этот этого неразумным называл, и расходились несогласными, поскольку тот хвалил свою веру, а тот — свою, один не принимал преданий этого, а другой отвергал обычаи того. Но кудесник, часто приходя, — иногда тайно, а иногда явно — совращал новокрещеных людей, говоря: «Мужи, братья пермские, отеческих богов не оставляйте и о жертвах им и требах не забывайте, и старые обычаи не отвергайте, старой веры не бросайте. Как поступали отцы наши, так и поступайте. Меня слушайте и не слушайте Стефана, недавно пришедшего из Москвы. А от Москвы что хорошего может быть нам? Не оттуда ли к нам идут тяготы, дани тяжкие и насилие, управляющие, сборщики податей и надсмотрщики? Потому не слушайте его, но лучше послушайте меня, желающего вам добра. Я же вашего рода и одной с вами земли, одного рода и одного племени, одного колена и одного народа. Следует вам меня больше слушать: я давний ваш учитель, и подобает вам меня, старца, что вам как отец, слушать более, чем того русина, да еще и москвитина, меньшего меня и ростом, и летами, юного возрастом, а по годам годящегося мне в сыновья или внуки. Потому не слушайте его, а меня слушайте и мое предание храните и крепитесь, чтобы не были побеждены, а, наоборот, победили бы его». Новокрещеные же люди, отвечая, сказали: «Не победили мы, старче, а, напротив, были совершенно побеждены. И боги твои, называемые кумирами, в падении низверглись и не восстали, «низвержены были, и не могут подняться», «они повергнуты были и пали, а мы встали и стояли прямо», «сеть их порвалась, и мы были избавлены. И ныне помощь наша от Господа, сотворившего небо и землю». Не можем мы противиться Стефану, его мысли и мудрости, с которой он говорил, когда крепко боролся с нами словами евангельскими, апостольскими, пророческими, особенно же — отеческими и учительными. И были мы побеждены его словами и пленены его учением, и словно сражены его любовью, и

«словно стрелы вонзились в нас», и, словно сладкой стрелой, были мы уязвлены утешением его. Потому-то мы не можем и не хотим послушаться его или противиться, ибо не можем восстать против истины, а поступим по истине». Кудесник же сказал: «Вижу, однако, что нет в вас разума, слабы вы и очень невежественны, и боязливы, и маловерны. Я же против него крепко вооружусь и принесу мольбы своим богам, принесу им жертвы и найду на него чары, и напущу на него многих своих богов, и те изгонят его, и сокрушат его, и устрашат его. И так изгнан будет он от лица моего. Когда же одолею его, тогда всех вас привлеку к себе вновь в прежнюю веру свою». Христиане же, посмеявшись над ним, сказали: «Безумный старец, зачем ты напрасно похваляешься победить истинного раба Божия? Ведь этот Стефан и богов ваших с землей сравнивал, и не смогли они повредить ему, тому, кто, сняв со знаменитых кумиров покрывала, побросал их своему служке по имени Матвейка, и тот сделал из них нижнее платье, онучи и штаны, и износил их без ущерба и вреда. Сделал он это не ради прибыли, но отдал указанному Матвейке на поругание идолов. Был же он прежде нашего рода <и веры>, и пермяк, а потом уверовал и крестился, и был его учеником. И не могли ему причинить зла. Если они даже ученику не могли навредить, то тем более — учителю. Вот таким образом мы лучше понимаем — и познали, и поверили — что суетны и немощны, и ложны боги твои. Защитят ли тебя те, что себя не смогли защитить? Потому-то мы отступились от идольского заблуждения и отрекаемся от идольской лжи. И еще скажу: «Отрекаемся от сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всех служащих ему, и всего срама его», «и дали обет Христу», и поскольку во Христа крестились и его знамением знаменовались, то и веруем во единого Бога Отца и Сына и Святого Духа, во Святую Троицу, как и содержит предание соборной апостольской церкви. Еще исповедуем единое крещение во оставление грехов и чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Отчего же ты, старец-чародей, минуя голову, пришел к ногам? Если ты силен в словах, то спорь с ним, а не с нами. Если же не можешь, то зачем нас смущаешь и беспокоишь? Отойди же и не соблазняй нас. Да будет тебе известно, что «не входишь в овчий двор через двери, а с другой стороны прокрадываешься с воровскими речами и разбойничьим обличем». «Ибо мы овечки словесного стада» и «голос своего пастуха знаем и его повеления слушаемся, и за ним следуем. За тобой же, чужим, не идем, а бежим от тебя, ибо не знаем чужого голоса»». Волхв же удалился в гневе, сказав: «Вы младоумны и скудны разумом. Поэтому тот игумен и перехитрил своим коварством вас, таких же глупцов, как и сам: обрел также и вас как совершенно себе подобных. Мне же не может он строить козни, ибо я скоро низложу его».

И был этот кудесник лютым врагом преподобного и злым ратоборцем, великим неукротимым противником и воителем, хотевшим разрушить веру христианскую. И люто, многократно смущал веровавших, постоянно спорил с ним, часто противостоял ему в вере, как прежде Анний и Замврий в Египте противились Моисею. <...> И так этот злой волхв, чародей-кудесник, сильно возгордился, произносил хулу на раба Божия и Бога, порицал и унижал христианскую веру и поносил евангельскую проповедь, и в гневе говорил людям: «Я не боюсь сопротивления и суесловия вашего дидака Стефана и учеников его и выступаю один против всех. Ни во что не ставлю то, что они говорят. Хоть и считают себя мудрыми, я же думаю, что быстро низложу их, и они падут, как листья, колеблющиеся и дрожащие от ветра. Ибо не могут стать предо мной и не вынесут пред лицом моим появиться, но будут, словно воск, приблизившийся к большому пламени и тающий, — а не то чтобы посмели словесно со мной сразиться в гаданиях и спорах, и состязаниях». А Божий человек Стефан, укрепясь Божьей благодатью, сказал волхву: «О обманщик и глава разврата, вавилонское семя, халдейский род, хананейское племя, мрачное чадо темной тьмы, пентаполиев сын, внук лживой египетской тьмы и правнук уничтоженного столпотворения! Послушай, так говорит пророк Исайя: «Горе поящему ближнего своего мутной смесью». А вот так говорит пророк Давид: «Что хвалишься злобою, сильный? Всякий день беззаконие, и неправду замышляет язык твой, подобный острой бритве; ты содеял обман, возлюбил зло более блага; вместо того чтобы говорить правду, возлюбил

слова гибельные, лживый язык. За это вконец сокрушит тебя Бог, исторгнет тебя и корень твой из земли живых»». <...> Колдующий же шаман сказал: «Боги наши хоть и были поруганы тобою, но смилостивились и не погубили тебя. Если бы они не имели милосердия, то давно бы тебя сокрушили и повергли. И поэтому пойми, что они добры и милосердны и что наша вера много лучшей вашей веры. Потому что у вас, у христиан, один Бог, а у нас много богов, много помощников, много поборников. Потому они дают нам добычу и все то, что в водах, и то, что в воздухе, и в болотах, и в дубравах, и в борах, и в лугах, и в зарослях, и в чащах, и в березнике, и в сосняке, и в ельнике, и в перелесках, и в прочих лесах, и все, что на деревьях: белок ли, соболей ли, куниц ли, рысей ли — и всю прочую добычу нашу, часть которой ныне достается и вам.

Не нашей добычей обогащаются и ваши князья, и бояре, и вельможи. В нее облачаются и ходят, и «кичатся подолами своих одежд», гордясь благодаря простым людям, со столь давних времен живущим в изобилии, многие годы живущим в изобилии и занимающимся промыслами. Не наша ли добыча посылается и в Орду, и доходит до самого того мнимого царя, и даже в Царьград, и к немцам, и к литовцам, и в прочие города и страны, и к дальним народам? И потому еще наша вера гораздо лучше вашей, что у нас один человек или вдвоем многократно выходит на битву сразиться с медведем и, сразившись и победив его, убьет да и шкуру его принесет. У вас же на одного медведя ходит много народа, числом так до ста, а то и двух сотен. И нередко то привезут медведя, добыв, то без него возвращаются, без успеха, ничего не везя, а напрасно трудившись, что кажется нам смехотворным и вздорным. И вот почему еще наша вера лучше: у нас новости быстро доходят. Если что случится в дальней стороне, в ином городе, в тридевятий земле, — если что случится в этот день — в тот же день, в тот же час имеются у нас полные известия, каковые вы, христиане, с трудом можете узнать через много дней и долгое время не знаете. Потому-то наша вера много лучше вашей, что имеем многих помогающих нам богов». Божий же священник, отвечая, сказал ему: «Исповедуя многобожие и признавая многих богов, не тем ли хвалишься, окаянный, чего подобало бы более стыдиться, по сказанному: «Да постыдятся все поклоняющиеся истуканам, похваляющиеся своими идолами?»» <...> Отвечая, кудесник сказал: «В той вере, в которой я родился и воспитывался, и вырос, и прожил, и состарился, в которой пребывал все дни моей жизни, — пусть я и умру в ней, к которой привык и ныне, в старости, не могу от нее отказаться и хулить ее. И не думай, что я тебе так говорю только от себя, но — от всех людей, живущих на этой земле. Думаю, что слова, которые говорю тебе, не только мои, к тебе я словно бы от лица всех пермяков обращаюсь. Разве я много лучше отцов моих, чтобы так поступить? Так ведь прожили наши деды, прадеды и прапрадеды. Я ли окажусь лучше их? Да не будет так ни в коем случае. Скажи же мне, какую истину имеете вы, христиане, что дерзаете так пренебрегать вашей жизнью?» Божий же иеромонах, отвечая, сказал ему: «Послушай о силе нашего Бога и тайне нашей веры». И начал говорить о милосердии Божьем и о его заботе о нас. И так с помощью Священного Писания начав от сотворения мира, от создания твари, то есть от Адама, и до распятия Христова и воскресения и вознесения — и так до конца света.

И пребывали вдвоем наедине, лишь друг с другом в словах состязаясь, весь день и всю ночь, пребывая без еды и без сна, не имея перерыва, не делая отдыха, не предаваясь сну, но постоянно противостояли в споре, противоборствовали словами. И хоть многое <Стефан> высказал ему, казалось, тем не менее, что будто на воду сеял. «Ибо в душу, — сказано, — безумного не войдет мудрость и не сможет укорениться в оскверненном сердце». Кудесник же, хоть и много поучений услышал, но ни одному не верил и не внимал сказанному, и не принимал вышеизложенного, но, выступая против, отвечал, говоря: «Я не верю. Все это мне кажется ложью и вымыслом, и вздором, придуманным вами. И я не уверую, если не испытаю веру».

И после этих слов, когда все эти слова кончились, после многих распрей и споров решили они оба избрать самих себя, желая испытать веру. И сказали друг другу: «Пойдем и разожжем огонь и войдем в него да и сквозь огонь пламенный пройдем, посреди горящего

пламени вместе, вдвоем пройдем оба — я и ты, и здесь будет нам испытание, и здесь получим доказательство <истинности> веры: кто выйдет цел и невредим, у того вера правая, и за тем все последуем. И еще кроме того иное доказательство получим. Таким же образом пойдем оба, взявши друг друга за руки, и войдем вместе в одну прорубь и спустимся вниз, в глубину реки Вычегды, и устремимся вниз по течению подо льдом и потом, спустя достаточное время, пониже одного плеса из одной проруби оба вместе вновь появимся. Чья вера будет правой, тот целым выйдет, невредимым, и ему все в дальнейшем подчинятся». И по душе была эта речь всей толпе народа, и сказали все люди: «Поистине, хорошо то слово, что сказали вы сегодня».

Когда сошлось бесчисленное множество людей, сам Стефан, стоя среди них, призывал пришедших: «Мужи и братья, слышали ли вы эти слова из уст наших? Внемлите же сказанному разумно и «не будете взирать на лица человеческие» и стыдиться ни одного из нас, но «праведным судом судите». Ибо мне предстоит трудный подвиг, и я с радостью стремлюсь совершить его и пострадать. И не только это, но и умереть я рад за святую веру православную». <...>

И, сотворив молитву, произнес «Аминь» и после «Аминь» сказал людям: «Мир вам. Спаситесь. Простите и молитесь обо мне. «Пойдем же с терпением на предстоящий нам подвиг, взирая на главу и создателя веры Иисуса»». Таковое он имел усердие, дерзая войти в огонь, и, обратившись к волхву, сказал ему: «Пойдем оба вместе, взявшись за руки, как обещали». Он же не пошел. Испугавшись шума огненного, был он в ужасе, не вошел все-таки — в присутствии народа, перед собравшимися людьми, при том, что люди все хорошо видели своими глазами. Горел огонь и пламя распалось; и преподобный еще пуще принялся за него, понуждая — и взявшись за одежду волхва рукой и крепко ее сжав, схватил его и силой потащил лицом к огню. Колдун же вновь стал пятиться назад. И сколько это происходило, столько же этот, насильно выволакиваемый, вопил, крича: «Не трогайте меня, оставьте в покое!» Понуждая его еще и в третий раз, преподобный призывал его со словами: «Пойдем, войдем оба в огонь палящий по слову твоему и рассуждению твоему, как ты пожелал». Он же не хотел войти. И сказал ему Стефан: «Не твои ли это слова, которые ты прежде говорил? Не сам ли ты это избрал и так захотел «испытать Бога живого?» Так почему же сейчас ты не хочешь этого сделать?» Он же, пав ниц, бил челом и, припадая к ногам его, признал свою вину, объявляя о своем бессилии и обличая суетность и обман свой.

Люди же, бывшие там, трижды его спросили, говоря: «Пойди, несчастный, почему не идешь?» Он же трижды отказался, говоря: «Не могу я идти, не осмеливаюсь прикоснуться к огню, остерегаюсь и опасаясь приближаться, когда горит такое большое пламя и «будучи словно сухая трава», не смею в него броситься, чтобы «как тает воск от лица огня, не растаял» я, чтобы не был я опален, как воск и сухая трава и внезапно не сгорел и не погиб от огня, «и больше меня не было». «И какая будет польза в крови моей, если сойду в могилу?», колдовство «мое наследует другой», «и будет двор мой пуст, и в селении моем не будет живущего»».

Преподобный же Стефан, сразившись с волхвом таким образом, еще и по-иному одержал над ним победу. Взял он его с народом и привел его к реке. И сделали две большие проруби — одну выше, а другую — чуть подалее. В ту, что была верхней, следовало нырнуть им обоим вместе, взявшись за руки; а из той, что была нижней, пройдя подо льдом <по течению>, вновь наверх выйти. Чародей же волхв, будучи побежден, и там был посрамлен. И там он, будучи трижды понуждаем, многократно отказался, говоря: «Не могу я этого сделать, хоть и тысячу раз объявите меня виновным». Мужики же спросили его, говоря: «Обветшавший недобрыми днями, ныне настали для тебя твои несчастья. Скажи, окаянный, почему ты не вошел ни в огонь, ни в воду, а совершенно осрамился?» Отвечая, волхв сказал: «Не научился я побеждать огонь и воду, а дидаскал ваш Стефан в детстве и в юности своей научился от своего отца волшебством и колдовством заговаривать огонь и воду, чтобы ни огонь его не жег, ни вода его не топила, — поскольку он этому научен и

хорошо умеет. Я же в своей жизни изучил многие злокозненные искусства и умею колдовать, волхвовать и кудесничать, зачаровывать и превращать, и устраивать многие другие наваждения, одного лишь не умею — заговаривать огонь и воду или укрощать их — этому я у батьки своего не научился».

Вновь люди спросили его, говоря: «Поведай нам, чародей, зачем ты это сделал, зная свое бессилие, пребывая в зловерии и будучи одержим безверием — дерзко обещал за веру «пройти огонь и воду»?» Он же, отвечая, сказал им: «Превзошел меня Стефан. Когда я спросил его о владении этим искусством, он мне ответил: «Не умею я заговаривать огонь и воду, не учился я этому». Я же, услышав это от него, поверил его слову и подумал про себя, рассуждая: «Если он не умеет, как и сказал, то я тем и напугаю его, хотя сам не умею». И в то время как он не знал о моем неумении, я надеялся своими хитростями его перехитрить и, одолев, посрамить его и похищенных исторгнуть внезапно из его рук и привести их вновь к своему древнему обычаю. Всего этого, увы мне, я не достиг и «упал в ту яму, которую выкопал», и «в сети, которую скрыл, запуталась нога моя», и «ров ему выкопал, и сам туда упал». «И было мне последнее хуже первого», поскольку Стефан, одолев меня, посрамил и показал, что я никчемный, и представил меня совершенно бессильным. И теперь не знаю, что делать или куда бежать. «Покрыл стыд лицо мое», и ныне не могу рта открыть от поношения и стыда. «Подвергся поношению у соседей моих и был пугалом для знакомых моих», «на посмешище и поругание живущим вокруг нас». «Всякий день срам мой предо мной, и стыд лица моего покрыл меня»». Люди же сказали ему: «Везде, окаянный, ты сам провозгласил свою гибель. <...> Хочешь ли верить и креститься, ибо ты уже побежден?» Пребывая под чарами, нечестивый волхв не захотел понимать истинной мудрости и без обиняков так сказал: «Не хочу веровать и креститься». Преподобный же, взглянув на народ, сказал: «Вы — свидетели всего этого, скажите мне, что вы думаете?» Они же сказали: «Подлежит казни». Тогда мужи пермские, приступив, взяли его и, взяв, передали его Стефану, говоря: «Возьми его и казни, ибо подлежит он казни и по нашему обычаю должен умереть, поскольку слова Божия не слушает, Евангелие хулит, проповедь евангельскую бранит, благовествование предаёт поруганию, над верой христианской насмехается, в Бога не верит, поучения не принимает, «сеет плевелы среди пшеницы и уходит», совращает новокрещеных людей, велит вновь вытесывать кумиров и весьма противится нашим словам. Ныне же, после всего и за всем этим, когда окончены слова, — боролся он с тобой словесно и не победил, а сам побежден; спорил о вере и не переспорил, а сам переспорен был; силился, да не осилил, еще и сам побежден был; и всюду посрамлен, и всячески был опозорен — и после этого еще и не верит, и креститься не хочет. Да как же он не заслуживает казни? И как же не должен умереть? Да если его живым отпустить и неопозоренным, и не казненным, то и больше еще будет вредить». Отвечая же, Стефан сказал им: «Нет же, да не будет так. Не поднимем руки своей на своего врага. Ни руки моей на него не подниму поспешно, ни покараю его, казнив, и смерти его не предам: ибо послал меня Христос не убивать, а благовествовать, и велел мне не мучить, а учить с кротостью и увещевать со спокойствием, велел не казнить, а наставлять с милостью». <...> Потом, обратившись к волхву, сказал: «Слышал ли все это, о обманщик?» Он же отвечал: «Ей, честной отец, все, что ты сказал сейчас, я слышал, и крепко вошло это в мои уши». И вновь был спрошен: «В самом ли деле не будешь вредить и разрушать веры?» Он же отвечал: «Нет, честной отец. Если же окажусь вредителем или разрушителем твоей веры, тогда умру пред ногами твоими». И вновь преподобный сказал ему: «Подтверждаю это сегодня перед многими свидетелями и повелением тебе повелеваю нигде не оказаться виновным в чем-либо из сказанного сейчас. Если же через некоторое время после повеления попадешься на нарушении наших слов и пренебрежении ими, то в дальнейшем попадешь под канонические епитимии и будешь подвергнут карам по гражданскому закону. Ныне повелеваю тебя отпустить. Уйди же от лица нашего цел и невредим, потом только, в дальнейшем, берегись, чтобы жестоко не пострадать». И сказал

это, и мужи, державшие его, отпустили его. Он же бросился от них, будто олень, и ушел от собрания, радуясь, что не убит.

Когда же волхв ушел, пришли к Стефану некие люди, сообщая о пустом лжеумилении волхва, о том, как удивлялся волхв разуму Стефана и премудрости его слов, и дивным ответам его, и как сам был обличаем своей совестью, зная, что Стефан говорит истину и наставляет на праведное. Но, влекомый ложным своим обычаем через утвердившиеся в нем чары, словно «удерживался удилами и уздой», словно тьмой, омраченный своим волхвованием, на «свет истинный» взглянуть не хотел, более того скажу: не мог. И оттого, забыв все Стефановы слова, вновь взялся за свой первоначальный древний нечестивый обычай. Преподобный же сказал: «В споре нашем с волхвом чуть не сбылось о нас одно слово, гласящее: «Прошли мы сквозь огонь и воду, и вывел Он нас на покой». Ибо когда ушел волхв, обрел я покой после многих распрей: из большой усталости и многословия вывел <Господь> нас на покой». Мы же о волхве же это слово прекратим и здесь немедля закончим.

Между тем преподобный крестил людей, находящихся здесь и там, приходящих из различных селений, мужчин, женщин и детей, и грудных младенцев. Всех верующих и всех готовящихся к святому просвещению, всех хотящих родиться в «бане возрождения», всех желающих получить Христово знамение, всех приходящих к святому крещению — всех их оглашая, поучая, крестил, как было у него в обычае, чем всегда и занимался.

Было же у него дело: книги писал, переводя с русского на пермский, а также многократно и с греческого на пермский. И имея немалую об этом заботу, он старался. То читал он святые книги, то переписывал, ибо было это его всегдашним делом. Потому и ночами многократно пребывал без сна и устраивал постоянные бдения. Днем же во много раз более был занят. То трудился руками своими, иногда же распоряжался и устраивал то, что нужно для церкви или для надобностей собственных и тех, кто был с ним.

О епископстве

К тому времени увеличилось число учеников, христиан прибывало, строились и церкви святые в различных местах и на разных реках, и в селеньях, здесь и там. И стало ему необходимо непременно найти и поставить, и привести епископа. И, попросту говоря, очень нуждается земля та в епископе, поскольку до митрополита и до Москвы далеко. Сколь далеко отстоит Царьград от Москвы, столь удалена от Москвы дальняя Пермь. Как же можно быть без епископа? Кто же может столь дальний путь долго и часто проходить ради выполнения епископских обязанностей и дел рук его: и по церковному управлению или священников поставлять, попов, диаконов и игуменов, или на основание церкви, или на освящение церкви и многого иного прочего, там, где оказывается необходимым присутствие епископа.

И обо всем об этом советовался он со своими старшими чиновниками. И по этой причине отправился из земли дальней, из Перми, в Москву к великому князю Дмитрию Ивановичу и к Пимену, бывшему тогда митрополитом, и поведал им причину, по которой из далекого местопребывания пришел в Москву, и, сообщив ее, сказал: «Да будет изыскан и найден у вас такой муж, которого, поставив епископом, пошлете со мной в Пермскую землю. Ибо очень нужен тем людям епископ, поскольку «жатва» поспела, и «жатва велика, а работников мало», и потому «молился Господину жатвы, чтобы вывел работника на жатву свою», чтобы, когда придет он в свою епископию, был бы мне помощником и пособником в проповеди при Божьем содействии и помощи, и я буду ему сослужителем и сотрудником, и сподвижником во всяком благом деле».

Услышав же это, великий князь и митрополит, дивясь, похвалили его мысль, и угодны им были слова его, и пообещали выполнить его просьбу. Митрополит тогда, имея немалую заботу, постоянно пекся о мире и о городах, и о землях, и о прочих епархиях, находящихся в его митрополии, о множестве словесных овец, особенно же о новокрещеных. И об этом усердно думал и гадал, искал и спрашивал, кого найти, отыскать и избрать, и поставить, и послать епископом в Пермь, и каким надлежит епископу быть, и какими достоинствами

следует ему обладать. <...> Одни этого вспоминали, другие же другого выдвигали, иные же иного имя произносили. Митрополит же сказал: «Нет же, да не будет этого. Воистину, хороши и они, но ни один из них не подойдет. Но как нахожу в Ветхом Завете то слово, что гласит: «Нашел я Давида, сына Иессеева, мужа по сердцу моему», так и я ныне нашел того самого Стефана, мужа доброго, мудрого, разумного, рассудительного, умного и искусного, и всецело украшенного добродетелями и достойного такого дара, ко многому и во многом ныне искусного. И думаю, что он подойдет, и надеюсь, что он — «работник». Имеет еще к тому же благодать, данную ему от Бога, и дар учительства, который приобрел, и талант, вверенный ему, и слово премудрости и разума. Еще и разными грамотами владеет, и заговорит с людьми на других языках, и обладает должными душевными и телесными чувствами».

Выслушав это, «архиереи, старцы и книжники», и клирики — все вместе, будто едиными устами, сказали: «Воистину, хороший он муж, достоин такой благодати». Особой честью было это для великого князя, ибо он был ему хорошо знаком, и любил он его издавна. Митрополит же, посоветовавшись с великим князем, и подумав, и порассмотрев, увидев и услышав о добродетели мужа и добром его нраве, и добром исповедании, и о том, что украшен учительским саном, что предпринимает и совершает апостольское дело, и что такой благодати достоин, — собрав епископов и священников, и прочих клириков, а также милостью и волей великого князя и своим выбором, и желанием всего причта и людей — поставил его епископом в Пермскую землю, которую он просветил святым крещением, которую научил вере христианской, в которой имя Божье исповедал пред нечестивыми, в которой проповедовал святое Евангелие Христово, в которой совершил удивительные дела, величественные и достославные, которых никто прежде там не совершал, в которой идолов низверг, святые церкви воздвиг и богослужение установил, и святые иконы поставил, и людей Богу поклоняться научил. Тех людей, которых избавил от обмана, увел от бесов и привел к Богу. Этим людям поставлен он был епископом и архиереем. Над всеми людьми поставлен он был святителем и законодателем, чтобы осознали язычники, что они — люди. Поставлен же он был на вторую зиму после битвы с Тохтамышем, когда и Михаил, епископ смоленский, был поставлен. Тогда тот и другой были поставлены в одно время. <...>

Послали же его пермяки в Москву со словами: «Отправляйся на поиски епископа и найди нам святителя, и с епископом, которого найдешь, возвращайся к нам. Приходи с ним, ведя его с собой». Он же, отправившийся на поиски епископа, вернулся к ним назад, не приведя его. Один пришел, никого с собой не ведя: отправившийся на поиски епископа внезапно сам оказался епископом. Ведь не знал он, как произойдет, что быть ему тем епископом, и не добивался владычества, не суетился, не напрашивался, не подкупал, не сулил посулов, никому ничего не дал — ни подарка, ни взятки, ни мзды. Ведь и дать ему было нечего, ему, стяжавшему нестяжательство, еще и самому ему подавали необходимое милостивые христороубцы и страннолюбцы, видя совершаемое Бога ради. И митрополит поставил его Бога ради и ради спасения обращающихся новокрещенных людей. Когда же по поставлении его, спустя достаточное количество дней, был отпущен великим князем и митрополитом, пошел он назад в свою землю, будучи одарен князем и митрополитом, и боярами, и прочими христианами, и шел своим путем, радуясь, благодаря Бога, устроившего все очень хорошо.

И, приехав в свою епископию, опять держался он прежнего уклада и выполнял свою обычную работу, и слово Божье проповедовал с дерзновением, и беспрепятственно учил их. Сколько где оставалось некрещеных, — разыскивая здесь и там, в каких местах находил этих язычников, — обращал и крестил. Всех же крещенных своих учил пребывать в вере и вперед продвигаться, как сказал апостол: «Прежнее забывая, а вперед устремляясь». И грамоте пермской учил их, и книги писал им, и церкви святые ставил им и освещал, иконами украшал и книгами наполнял, и монастыри устраивал, и в чернецы постригал и игуменов им ставил, и в священники, попы, дьяконы сам поставлял, и чтецов

и иподьяконов ставил. И попы его по-пермски служили: обедню, заутреню и вечерню пели на пермском языке. И канонархи его по пермским книгам пропевали, и чтецы читали чтение на пермском наречии, певчие же всякое пение по-пермски возглашали. И увидели чудо в земле той: где прежде были идолослужители, бесомольцы, там богомольцы явились. <...>

О призывании и вере многих народов

Об этом и апостолы свидетельствуют, об обращении стран и о призывании народов, что «во всех народах должно быть проповедано слово Божье» и что подобает иноверцам обращаться к Богу и веровать, и креститься. Благовествователи и проповедники свидетельствуют об этом и пророки согласно говорят. Ведь Исая сказал: «Вот, народы, которые не знают тебя, призовут тебя и люди, которые не знают тебя, прибегнут к тебе». И пророк Давид сказал: «Хвалите Бога», «все народы будут служить ему», «все народы восславят его», «все народы придут и поклонятся пред тобою, Господи, и прославят имя твое» вовеки, «убоятся народы имени Господня», «убоятся его во всех концах земли», «услышьте, все народы, внимайте, все живущие во вселенной, земнородные, сыны человеческие — и богатые, и бедные», что «высок над всеми народами Господь, и выше небес слава его», «очи его взирают на народы», «явих Господь спасение свое, пред народами открыл правду свою», «видели во всех концах земли спасение Бога нашего», «благословите, народы, Бога нашего, возвысьте голос хвалы его», «чтобы познали мы на земле путь твой; во всех народах дела его», «возвестите в народах славу его, во всех людях чудеса его», «возгласите в народах, что Господь воцарился, ибо устроил вселенную, которая не поколеблется», «ибо царь всей земли» «Бог воцарился над народами», «блажен народ, у которого есть Господь Бог его, и люди, которых избрал он в достояние свое», «милостью Господней наполнилась земля», «да убоится Господа вся земля» и «наполнится вся земля славой его; да будет и будет», «пусть поколеблется пред лицом его вся земля», «в псалмах воскликнем ему, что Бог — великий Господь, великий царь во всей земле», «восклищайте Господу, вся земля», «узнайте, что он — Бог наш, он сотворил нас, а не мы себя», «воспойте Господу, вся земля», «восклищай Богу, вся земля», «пусть поклонится тебе вся земля и пусть поет тебе, пусть же поет имени твоему, Всевышний», потому что ты, Господи, «один Всевышний по всей земле», «весьма превознесся над всеми богами», «я познал, что велик Господь, и Бог наш превышает всех богов», «велик Господь, весьма славен, страшен более всех богов», «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле!», «вознесись на небеса, Боже, и по всей земле слава твоя», «каково имя твое, Боже, такова и похвала твоя до концов земли», «упование всем концам земли и находящимся далеко в море», «услышь и посети все народы», «и узнают, что имя твое Господь, и ты один Всевышний по всей земле», «воскресни, Боже, суди земле, ибо ты наследуешь все народы», «блажен тот, кого ты будешь наставлять, Господи, и закону своему научишь его», «мне иноплеменники покорились», «да постыдятся все клыняющиеся истуканам, хвалящиеся идолами своими», «ибо не отринет Господь людей своих и достояния своего не оставит», но «послал слово свое, исцелил их и избавил их от гибели их», «чтобы сказали избавленные Господом, который избавил их от руки вражеской и из земель собрал их с востока и запада, и севера, и моря; блуждали в земле безводной», «терпя голод и жажду; душа их в них изнемогла. Воззвали к Господу, когда затужили; от бед их избавил их и вывел их на правильный путь», «ибо благословение даст дающий закон», потому «превознесут его в церкви человеческой и на собрании старейшин восславят его» «и поклонятся ему все цари земные», и «всякое дыхание пусть славит Господа». <...>

Об азбуке пермской

Не только ведь святым крещением просветил он их, но и грамоты удостоил их, и книжную мудрость даровал им, и письменность дал им, когда неизвестную азбуку пермскую сочинил и, написав множество книг теми письменными буквами, дал им то, чего они испокон века не имели. Ведь до крещения пермяки не имели своей грамоты и не знали

письменности, и вовсе не ведали, что есть книги, а были у них лишь сказители, что сказки сказывали о начале и о сотворении мира и об Адаме, и о разделении народов. И прочее пустословили, и больше лгали, чем истину говорили. И так век свой и все годы свои растратили. Но Бог, милостивый человеколюбец, который устраивает все на пользу людям и не оставляет рода человеческого без разумения, но всячески приводит к разумению и спасению, который пощадил и помиловал людей пермского народа, поставил и дал им, как прежде Веселиила в Израиле — и «исполнил мудрости и умения», — так и этого Стефана, мужа хорошего и благоговейного, и послал его к ним. Он же создал им новую грамоту — пермскую азбуку, сложив, составил. И когда это произошло, многие из людей видели, слышали и удивлялись, не только жившие в Перми, но и в других городах и землях, особенно же в Москве дивились, говоря: «Как он умеет сочинять пермские книги и откуда ему была дана премудрость?» Другие же говорили: «Это воистину новый философ». Прежде был называемый Константином Кирилл Философ, который создал славянскую грамоту из тридцати восьми букв. Так вот и этот составил <азбуку> числом в двадцать четыре буквы, уподобляя по числу букв греческой азбуке, одни буквы по образцу греческих письмен, другие же — по звукам пермского языка. Первая же буква в ряду — «аз», как и в греческой азбуке.

Прежде же всех грамот была еврейская грамота. С нее списали греческие грамотеи. Затем после них — римская и многие другие. Спустия много лет — русская. После же всех — пермская. В еврейской азбуке название первой буквы «алф», в греческой азбуке название первой буквы «алфа-вита», а в сирийской — «альф-бе», а в угорской — «афака-васака», а в русской — «аз», а в пермской — «а-бур». Чтобы не по одной называть, добавляется буква. Много же есть грамот и много азбук. А вот названия букв пермской азбуки: а, бур, гай, дой, е, жой, зата, зита, и, коке, лей, мено, нено, во, пей, рей, сий, тай, цу, черы, шуя, е, ю, о. Некие же скудоумные сказали: «Для чего же созданы книги пермской грамотой? Ведь и до этого издавна в Перми не было грамоты, таков обычай: издавна не имели они у себя грамоты, и так прожили без нее свой век. Теперь же, при окончании лет, в последние дни, к исходу счета седьмой тысячи <лет> еще и ввиду малого времени, лишь за 120 лет до скончания века грамоту задумывать! Если и нужно это, то больше подходила русская, готовая грамота, которую можно было передать им и научить их. Ибо это была книжная письменность, которую издавна и по обычаю имели у себя такие народы, как еврейский, эллинский, римский». Что следует им говорить или что подобает им отвечать? Ведь очевидно, что мы учимся по Писанию, а не как-либо иначе. В Писании же, однако, есть следующее. Если от Адама первозданного буду говорить, сын которого Сиф, — то он первый научился еврейской грамоте. Затем от Адама до потопа прошло 2242 года. После потопа же было столпотворение, когда разделились народы, как и написано в Бытии. А как разделились народы, так же разделились между народами и нравы, и обычаи, и установления, и законы, и умения. Как вот, говорю, есть народ египетский, которому досталось землемерие. А персам и халдеям, и ассирийцам — астрономия, звездочетство, волхование и колдовство, и прочие суетные искусства человеческие. Евреям же — святые книги, поскольку они научены <грамоте>, той грамотой и Моисей потом писал о создании всего мира книги Бытия, в которых написано, что Бог сотворил небо и землю, и все, что на ней, и человека, и прочее все по порядку, как написано в Бытии. Эллинам же досталась грамматика и риторика, и философия. Но первоначально эллины не имели у себя грамоты на своем языке, а были вынуждены свою речь записывать афинской грамотой, и было это много лет. <...>

Как много лет многие эллинские философы собирали и составляли греческую грамоту и едва создали, посредством больших трудов и долгого времени едва сложили! Пермскую же грамоту один чернец сложил, один составил, один сочинил, один старец, один монах, один инок, Стефан, говорю, вечно памятный епископ. Один единовременно, а не за долгие времена и годы, как они. Но один инок, один-единственный и уединившись, один уединенный, один, единого Бога призывая на помощь, один, единому Богу молясь и

говоря: «Господи Боже, премудрости наставник и разума податель, неразумных учитель и нищих заступник, утверди и вразуми сердце мое и дай мне слово отчее, чтобы тебя прославлял во веки веков».

И так один инок, помолясь единому Богу, и азбуку составил, и грамоту создал, и книги перевел за малое число лет с Божьей помощью. А те многие философы — за много лет семь философов едва азбуку создали, а 70 мужей мудрецов перевод выполнили, перевели книги, с еврейского на греческий язык перевели. Потому думаю, что русская грамота почтеннее эллинской, ибо создал ее святой муж, Кирилл имею в виду Философа, а греческий алфавит — эллины некрещеные, язычники, составляли. Потому также и пермская грамота, которую создал Стефан, лучше эллинской. Там — Кирилл, здесь же — Стефан. Оба этих мужа были хороши и мудры, и равны в мудрости. Оба одинаковый, равный подвиг явили и предприняли, и для Бога оба потрудились — один ради спасения славян, другой же — пермяков. Как два сияющих светильника, народы просветили. Какой похвалы были они достойны? «Ведь память, — сказано, — о праведниках с похвалой бывает», и, «когда славят праведника, радуются люди». Ибо они Бога прославили, и Бог их прославил, ведь «славящих меня, — сказано, — прославлю». Но Кириллу Философу часто помогал брат его Мефодий — грамоту ли складывать, азбуку ли составлять, книги ли переводить. Стефану же не нашлось никакого помощника, — только единый Господь «Бог наш, прибежище и сила, помощник в скорбях, охвативших нас силой».

Если кто скажет слово против пермской грамоты, хуля ее и говоря, что не самым лучшим образом составлена азбука, что следует ее улучшить, — тем еще скажем вдобавок: и греческую грамоту тоже многие исправляли — Акила и последователи Симмаха, и многие другие. Диво ли готовое исправлять? Легче ведь в дальнейшем поправить, чем начать сначала и создать. Ибо если кто спросит греческого книжника, говоря: «Кто вам грамоту создал или книги перевел, и когда это случилось?» — то редкие из них могут дать ответ, и немногие знают. А если спросишь русских грамотеев, говоря: «Кто вам грамоту создал и книги перевел?» — то все знают и быстро отвечают, говоря: «Святой Константин Философ, называемый Кириллом, — он нам грамоту создал и книги перевел с греческого языка на русский с родным своим братом Мефодием, который был впоследствии епископом моравским. Когда же было это? В царствование Михаила, царя греческого, царствовавшего в Царьграде, при патриархе Фотии, в годы Бориса, князя болгарского, и Растица, князя моравского, и Костеля, князя блатенского, в княжение великого князя всей Руси Рюрика, язычника и некрещеного, за 120 лет до крещения Русской земли, а от сотворения мира в год 6363». И если спросишь еще пермяка, говоря: «Кто вас избавил от рабства идолослужения и кто вам грамоту создал и книги перевел?» — то с чувством и с радостью скажут и с большим старанием и усердием ответят, говоря: «Добрый наш дидаскал Стефан, всесторонне просветивший нас, во тьме идолослужения сидящих. <...> Один Господь Бог Израилев, имеющий великую милость, по которой возлюбил и нас, помиловал нас, даровал нам своего угодника Стефана, и он перевел нам книги с русского на пермский язык». Когда же все это было, в какое время? Не так давно, а, как думаю, от сотворения мира в году 6883 в царствование Иоанна, царя греческого, в Царьграде царствовавшего, при архиепископе Филофее, патриархе Константина-града. В Орде же и в Сарае над татарами тогда Мамай царствовал, но не вечен был. На Руси же — при великом князе Дмитрие Ивановиче; архиепископа же, митрополита в те дни на Руси никакого не было, а ожидали митрополичьего пришествия из Царьграда, кого Бог даст. Таковы те дары, которые даровал Бог земле Пермской, так вера начиналась, и зло из людей изгонялось, так они приняли крещение, так грамоты удостоились, так христиан прибывало, так словесное стадо пополнялось, так «виноградник Господа Саваофа» хорошо цвел, плодом добродетели изобилуя, так порядок церкви Христовой должным образом укреплялся, и православие цвело.

Епископ же Стефан, видя людей своих, крестящихся и обращающихся к Богу, и утверждающихся в вере, радовался о них, и за это благодарно прославлял Бога

добročестный этот отец, не себе угождая, но многим, чтобы себя спасли. Как-то однажды, желая испытать своих людей и узнать, твердо ли они уверовали, более же желая укрепить или просветить их в вере, сказал им: «До сих пор «молоком кормил вас, но отныне уже твердой пищей должно мне вас кормить и черствой пищей вас питать». Ныне же «покажите мне сперва делами вашими веру свою». Если крепко уверовали, то примите ныне знамение в подтверждение веры. И если кто из вас желает быть верующим и мудрым, большим, более всех, и хочет быть <лучшим> из всех и более всех любовью ко мне иметь, пусть разыщет и узнает, если где проведает о скрываемом кумире, — в своем ли дому или у ближнего соседа, или где в ином месте, тайно скрытом, — пусть, найдя, вынесет его на люди перед всеми и, усердствуя в вере, своими руками его сокрушит. И если кто это сделает, того я больше всех полюблю и похвалю, и одарю». Они же, услышав это, старались один вперед другого где-нибудь узнать и отыскать скрываемого кумира, чтобы кому-либо, опередив <других>, первым показать свое старание. И было удивительно видеть, что происходило тогда между ними: если бы кто <из них> и хотел, лицемера в вере, свой кумир скрыть, то не мог, ибо сами за собой смотрели, ведь каждый соблюдал себя, чтобы прежде не обличил его другой. Но и сами промеж себя были изрядными доносчиками: знали ведь тайны друг друга, будучи друг другу соседями. И по этим причинам напоследок очистились их дома, и окончательно освободились от кумиров, и всецело пребывали в вере с женами и детьми.

Был епископ Стефан сведущ в книгах. Будучи украшен этой добродетелью, делом и словом мог он противостоять идолослужителям и обличать спорящих с ним. Был он и большим знатоком книг, и все, что кажется трудным и остается непонятным в Священном Писании, мог легко разъяснить и хорошо растолковать. Этот дар имел он от Святого Духа, так что изумлялись многие люди и удивлялись такой Божьей благодати, данной ему. Среди и между неверующих был он один в наши годы выдающийся толкователь, один дидаскал слов апостольских и пророческих и хорошо толковал речи пророков и предсказания. Только одного его из многих помнят. И милостыню любил подавать, устраивать угощение странникам, нищим и гостям. Сколько раз, привозя многократно ладьями зерно из Вологды в Пермь, все это расходовал не на что-то иное такое, что себе самому на пользу, — а лишь для надобностей странников и проходящих, и всех прочих нуждающихся. И как прежде Иосиф в Египте был пшеницедателем и людей прокормил, и насытил их в дни голода, так и этот, насытивший людей, был новым хлебодателем. Но он здесь и более Иосифа Прекрасного был. Ведь Иосиф кормил людей одним только зерном, и не даром еще, а за плату каждому продавал. Этот же, должным образом все устроив, без платы отдавал и каждому даром отдавал. Как пророк Исая сказал: «Те, кто не имеет хлеба, пойдите купите и ешьте без серебра и без платы — почему продаете хлеб ваш?» Иосиф только тела одни насытил, этот же не только тела накормил, но и души их насытил — учением, говорю, Божественного Писания, двойной пищей: тела — едой из плодов земных, душам же <дал> учение, которое есть плод уст. И так двояко кормил людей и насытил их в голод. Голод же, говорю, не только когда нет хлеба, но когда и другой голод настает, не меньший первого — когда совсем не слышно слова Божия. И так была та земля в те дни двояким голодом охвачена, двойную и пищу получила. «Не хлебом ведь, — сказано, — единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И еще: «Готовьте не пищу тленную, а пищу, пребывающую в жизни вечной». Вот почему предлагалась не только видимая осязаемая трапеза, но и духовная предоставлялась: всегда Божественное поучение, и до еды, и во время еды, и после еды произносился псалом, и после питья — песнопение. Часто он устраивал большое угощение многим странникам и гостям, и пришельцам, приплывающим и отплывающим, и не давал им уйти просто так, как случалось, но всякий пришедший прежде у него бывал и у него благославлялся, и у него ел и пил, и от него принимал наставление и учение, и угощение, и поддержку, и от него принимал молитву, и, благословения удостоившись, с тем отправлялся в предстоящую дорогу, а Бог наставлял Стефана на спасение многим душам.

Когда же приблизилось время его преставления, кажется за два месяца или за три, или более, созвал он новокрещенных пермских людей и собрал их вместе, желая дать им обычное наставление, вернее же — последнее наставление, и обратился к ним, говоря: «Братья, отцы и дети, мужи пермские. Мы должны благодарить и благословлять Бога Отца, Господа нашего Иисуса Христа за нашу веру и за ваше обращение и крещение. <...> И вот сейчас настает уже время моего ухода. Пусть это будет вам известно. Если кто подумает, будучи маловерным, а лучше сказать — зловерным, задумает уйти из света в тьму, захочет отступить от «Бога живого», захочет отречься от веры христианской и то, что создано, вновь разрушит, — на это что можем сказать? Только то, что чист я от этого, и пусть это не на мне будет, и пусть сам он за себя даст ответ в Страшный День Судный или будет без всякого ответа. Ибо я силы свои исчерпал и множество божественных слов сказал и все, что должен был совершить, совершил. И устал уже, уча их, не давая покоя челюстям моим. Утомился, крича. Умолкла гортань моя <...>».

Наставил людей и благословил, и молитву сотворил, и ушел. Ведь когда входил впервые в землю ту, начиная учить, молитву сотворил и, уходя, вновь молитву сотворил: и начиная, и окончивая, и совершая — все молитвой заключал и знаменовал. И так отправился из земли Пермской в Москву. Когда же пришел конец годам жизни его, и настало время его ухода, и приспел час преставления его, в те дни случилось ему приехать в Москву к митрополиту Киприану. Ибо был он ему люб, и тот очень любил его. К нему постарался долгий и большой путь проделать из-за неких дел священнотайных и церковного управления, и церковных правил, и прочих необходимых вопросов, существующих для спасения людей. И тогда привелось ему в Москве, поболев несколько дней, преставиться. Подобало ему, по апостольскому слову, хорошо потрудившемуся в труде воздержания, и общей природе долг отдать. Но перед преставлением его, когда он лежал на одре болезни и болел, посещали его братья — одни стояли вокруг него, другие же сидели перед ним, даже сам великий князь приходил посетить его, и многие бояре многократно его навещали, и так он здесь болел.

#### Поучение

В один же из дней позвал он своих священников и ризничих, и иподьяконов, и всех, кто приехал с ним из земли Пермской, и сказал им: «Братья, слушайте слова из уст моих. Отпускаю вас ныне назад в землю Пермскую. После моего ухода пойдите и скажите им, новокрещеным людям пермским, и всем ближним и дальним — возвестите им мои слова, что им завещаю: в письме ли написав или устно сообщив, скажите им, что слышали и видели. Ибо хочу сказать уже последнее слово, к которому впоследствии более ничего уже не добавлю, потому что постигнет меня кончина, и пришел день, и приблизился час, и пришла година. Но поскольку добрую проповедь следует держать до последнего вздоха, скажите от меня людям такими словами: «Вот я ухожу от вас и в дальнейшем более не буду жить с вами. Вот я иду по пути моих отцов, куда и все пошли. Вот я умираю, как и все живущие на земле. Внемлите, люди мои, закону Божию. Вслушивайтесь в самих себя, дети. Бодрствуйте и молитесь. Стойте в вере неколебимо. Будьте мужественны. Пусть будет крепко ваше сердце. Будьте тверды верой. Берегитесь еретиков. Остерегайтесь разрушителей веры. Блюдайте себя от наступающих церковных расколов и подступающих раздоров. Храните себя от всякой пагубной ереси. Берегитесь вашего прежнего идолопоклонства. Пусть никто не прельстит вас злыми словами. Ибо знаете, братья, сколько пережил я печали, сколько мучений перенес в земле Пермской и сколько пострадал в стране той, утверждая веру, устанавливая крещение, твердо давая Закон, всегда заботясь, день и ночь моля Бога, чтобы он открыл мне дверь милосердия, чтобы принял молитву мою, чтобы спас людей своих. Бог же человеколюбец не отверг моей молитвы, но исполнил мою просьбу, привел людей к вере, и вот вы сегодня все крещены. И вот ныне, братья, предаю вас Богу и слову его благодати, способному вас укрепить и сохранить, и спасти. В дальнейшем же, братья, стойте в вере крепко, неколебимо <...>».

О преставлении

И недолго побеседовав с ними о душеполезном и все хорошо определив и распределив, и все предуготовив и устроив, и все направив, простер затем ноги свои на ложе своем, и братья предстояли и канон положенный пели и славословили, и сам он обращал к братьям некие немногие слова — одному из пресвитеров кадиллом с ладаном покадить велел, другому же молитву отходную проговорить, иным же канон на исход души прочесть. И было еще на устах его благодарение, и вместе с ним молитва сходила с уст его, и подобно некоему желающему спать или начинающему дремать сладким сном, тихо и безмятежно испустил он дух. Преставился ко Господу на 4-й неделе по Великом дне, когда бывает праздник Преполовения Пасхи. <...> 26 апреля постигла епископа смерть, в месяце апреле взяла смерть Стефана. Епископ означает «посетитель», и «посетителя» посетила смерть. Он бросил тело, словно шкуру, и, словно одежды, тело совлек. От тела отошел, к Господу перешел, бежал от житейского многомудного моря, не имея никаких житейских приобретений. Ибо в праведной жизни был воспитан и праведно пожил на земле, а умер — и соединился с умершими отцами и праотцами, дедами и прадедами. Тело земное оставил и с радостью отдал душу Господу, созидателю душ и сеятелю добра. Добрый наш поборник веры перешел от сей жизни к тамошней. Уснул во Господе сном вечным и перешел от труда к покою, по Иову, говорящему: «Смерть есть для мужа покой». Отдохновение принял от трудов и подвижничества, ушел, оставив тленную эту жизнь, кратковременную, преходящую и скоротечную, и <на месте> не стоящую. Отправился туда, где плата по делам, где «награда по трудам его». Ко Господу отошел, которого полюбил смолоду, ради которого на земле подвизался, которого и перед нечестивыми исповедал, которого и в чужих землях проповедовал, в которого и верить научил. И когда он преставился, собралось на его проводы великое множество народа — князья, бояре, игумены, попы и горожане, и прочие люди, и проводили его с честью, отпев над ним положенную надгробную службу, предали могиле честное его тело, похоронили его в славном городе Москве, в монастыре Святого Спаса, в каменной церкви, по левую сторону от входа в церковь. И многие, скорбя, горевали о нем, вспоминая добродетельную его жизнь и душеполезное его учение, и благонравные обычаи его. Более же всего стадо его о нем горевало, новокрещеный народ пермский.

#### Плач пермских людей

И когда пришла к ним эта весть, возвестили им, говоря: «Придите, новокрещеные пермские общины, и узрите, и услышите, что учитель ваш удалился от вас, ко Господу отошел, а вас сиротами оставил. Мы же сами очевидцы, служившие при его преставлении, которое наши глаза видели и наши руки осязали. Как болел он в Москве, так там и преставился, там и похоронен был с честью. Если же не верите нашим словам, и кажется вам речь наша ложью, то придите и увидите ризы его и ризницу его, и книги его, и прочие его вещи». Они же, когда слышали о преставлении его, зарыдали со слезами и в тоске сердечной кричали, в печали горько оплакивая, и все начали говорить: «Горе, горе нам, братья. Как же остались мы без доброго господина и учителя? Горе, горе нам. Как же лишены были доброго пастуха и наставника? О, как же был отнят у нас податель великого добра? О, как же лишились очищающего наши души и пекущегося о наших телах? И лишились мы прежде всего доброго заступника и ходатая, что был для нас ходатаем к Богу и к людям: Богу ведь молился о спасении душ наших, а перед князем о печалях наших и об облегчении, и о благе нашем ходатайствовал и заботился. Перед боярами же, перед начальниками, властелинами мира сего был нам усердным заступником, многократно избавлял нас от притеснений и неволи, и тиунских поборов и облегчал нам тяжкие дани. Даже сами новгородцы-ушкуйники, разбойники, были уговорены его словами нас не грабить. Ныне же и то, и то потеряли и всего лишились. К Богу не имеем усердного молитвенника, пред людьми же не имеем скорого заступника. О, как и откуда эта беда в нашей жизни? «Стали мы посмешищем для соседей наших», иноплеменников лопарей, вогуличей, югры и пинежан. О, епископ наш добрый, словно к живому, обращаемся к тебе. О, добрый подвижник правой веры. О, хранитель откровения священных тайн и

богопроповедник, Бога нам проповедовавший, а идолов поправший. Истинный наш вождь и наставник. Проводник для нас, заблудших. Если бы золото потеряли мы или серебро, то вместо этого другое нашли бы, а тебя лишившись, другого такого не найдем. <...> Зачем же пустили мы тебя в Москву, чтобы ты там почил! Лучше было бы нам, чтобы была могила твоя в нашей земле, перед нашими глазами, чтобы было немалое облегчение и хотя бы великое утешение в нашем сиротстве. И словно к живому, к тебе приходя, благословлялись бы мы у тебя и по успении, словно у живого, поминая твои Богом данные слова. Ныне же совершенно всего полностью лишены мы. Ибо не только тебя самого лишились, но и могилы твоей не удостоились. Отчего же такая обида нам от Москвы? Это ли правосудие ее, имеющей у себя митрополитов, святителей? А у нас был один епископ, и того к себе взяла, и ныне не имеем даже могилы епископа. Один он был у нас епископ, и был он нам законодатель и законоположник, и креститель, и апостол, и проповедник, и благовеститель, и исповедник, святитель, учитель, очиститель, посетитель, исправитель, исцелитель, архиерей, страж, вождь, пастырь, наставник, толкователь, отец, епископ. Москва ведь много архиереев имеет, изобилует, излишествует, мы же только его одного имели, да и его одного не удостоились и терпим скудость. <...> Хорошо же было бы нам, если бы рака с твоими мощами была у нас, в нашем краю и в твоей епископии, а не в Москве, не в твоей земле. Ибо не так будут тебя почитать москвичи, как мы, не так восславят. Знаем ведь мы их, тех, что навешивали на тебя прозвища, отчего некоторые называли тебя Храпом, не разумея силы и благодати Божьей, имеющейся в тебе и через тебя. А мы бы тебе должную честь воздали, поскольку мы твои должники, поскольку мы твои ученики, поскольку родные твои дети, поскольку через тебя познали Бога и гибели избежали, через тебя от бесовского обмана избавились, крещения удостоились. Потому-то воистину должно нам тебя почитать как достойного прославления. «Ибо достоин, — сказано, — работник платы своей». Да как же сможем тебя по достоинству восхвалить или как тебя прославим, ибо ты совершил дело наравне с апостолами? Славит Римская земля обоих апостолов, Петра и Павла, почитает и славит Малоазийская земля Иоанна Богослова, а Египетская — Марка евангелиста, Антиохийская — Луку евангелиста, Греческая — Андрея апостола, Русская земля — великого Владимира, крестившего ее, Москва же славит и почитает Петра митрополита как нового чудотворца, Ростовская же земля — Леонтия, епископа своего. Тебя же, о епископ Стефан, Пермская земля славит и почитает как апостола, как учителя, как вождя, как наставника, как руководителя, как проповедника. <...> Ныне если и отнял ты, Господи, за наши грехи у нас епископа нашего, то «не отними у нас милости своей». Ибо ты дал нам его, ты же и взял назад, скажем словами Иова: «Господь дал, Господь же взял, как Господу угодно, так и было. Да будет имя Господне благословенно вовеки. Да будет слава Господня вовеки». «Благословенна слава Господня в святом месте его». Молитвами, Господи, твоего святителя, а нашего епископа, Стефана, его молитвами, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».

Плач церкви пермской, когда овдовела и оплакивала своего епископа

Когда же пермские люди печалились и горевали о своем епископе (есть у людей правило постоянно приходиться в церковь, особенно же пребывающим в печали), услышано было ушами церкви, Пермской церкви, что епископ ее преставился. Почувствовала она печаль чад своих, услышала скорбь людей своих, когда услышала глас плача их, и, услышав, пришла в большое смятение, и померкла красота ее. О, лютая эта весть, страшная и ужасная! Увы мне, весть эта пламенная и горькая, и печальная! Жалею тебя, пермская церковь, и еще раз скажу: жаль мне тебя! О, злополучная эта весть, открывшая церкви эту печаль! Кто скажет чадам церковным, что осиротели? Кто возвестит невесте, что овдовела? Когда же услышала церковь полную весть, что епископ ее умер, узнав это достоверно, пришла она в сильное волнение и большое смятение, и печаль смешалась с горьким рыданием. Оплакивает церковь пермская своего епископа и говорит: «Увы мне, улы мне! О, чада церковные, зачем утаиваете от меня то, что не утаится? Зачем скрываете

от меня то, что не скроется? Где пребывает мой жених? Если говорите, что он преставился, и, более того, как вы сказали, московская церковь приняла его в свое хранилище, то почему же не последовали вы сынам Израилевым, которые взяли кости Иосифа Прекрасного из земли Египетской и принесли в Землю Обетованную, которую обещал Бог отцам их, Аврааму, Исааку, Иакову? И вы бы так же учителю, будучи у него в долгу, послужили. Почему не взяли его и не принесли в свою землю, в его епископию, в его церковь, которую ему Бог даровал, которую ему Бог вверил? Увы мне, жених мой, достойное украшение невесты и украшение песнопений, где ты пребываешь, где обитаешь, где почиваешь? О, как мне не скорбеть, если я лишена тебя? Оплакиваю себя, ибо лишилась тебя. Плачу о себе, ибо овдовела. Скорблю о чадах своих, ибо осиротели. Увы мне! Кто даст глазам моим слезы и голове моей воду, чтобы я плакала о женихе моем день и ночь, чтобы беспрестанно рыдала о вдовстве моем, чтобы вечно скорбела о сиротстве чад моих? Увы мне! Кого в рыдании моем призову на помощь? Кто мне поможет оплакивать? Кто мне слезы утрет? Кто мой плач успокоит? Кто меня в печали утешит? Епископа ли моего призову для утешения? Ему ведь дана была такая благодать, и он имел такую благодать — слово утешения, утешать печальных и сокрушенных сердцем, ибо «излилась, — сказано, — благодать из уст» его. Но однако уже нет его, ибо не слышу его голоса в церкви. Уста его молчанием затворились. Уста его не говорят. А данная ему «благодать», которая «излилась», отлетела прочь. Голос его умолк. Язык его перестал говорить. Учение его иссякло. Источник учения иссяк, и река высохла. Оскудело учение в Перми. Ибо не вижу лица его в церкви, не вижу глаз его в церкви, глаз церкви Христовой. Страдает от раны тело церковное, и отдельные члены его изнемогают в болезни. Чада церковные, в отсутствие врача, который бы исцелил вас, овцы резвятся, а волки наступают, и некому свистнуть, чтобы отпугнуть и разогнать волков в отсутствие пастыря. Плавает корабль духовный по житейскому морю, мечась туда и сюда, а кормчего нет. Великое сделалось безвременье в земле Пермской с преставлением епископа. Немалая беда случилась. Большая печаль людям. Великий плач и рыдание церкви пермской, ибо церковная опора рухнула, и столпа церкви не стало. Церковные основы поколебались, так что и сама церковь сотряслась. Еретики-волки, душегубы-разбойники, иноверцы вогуличи наступают. Рать еретиков наступает, и рать еретическая люто весьма вооружается на церковь, а нет воеводы, который бы их порицанием духовным сокрушил и разогнал, и рассеял, и разметал».

И от такой печали горько плачет церковь пермская, неутешно и скорбно рыдает и не хочет утешиться, ибо некому утешить ее. <...>

Плач и похвала пишущего инока

Я же, отче, господин мой епископ, хотя бы и после смерти твоей хочу вознести тебе хвалу — сердцем ли, языком ли или же умом — я, который порой, когда ты был жив, был тебе досадитель, ныне же — похвалитель; и некогда спорил с тобой о разных случаях или об ином слове, или о всяком стихе, или о строке. Но, однако, вспоминая ныне твое долготерпение и твое многоразумие и благопокорение, сам себя срамлю и стыжу, сам за себя краснею и плачу. Увы мне, когда было преставление твоего честного тела, тогда среди множества братьев, обступивших твой одр, меня, увыв мне, не было, не удостоился последнего целования и последнего прощения. Увы мне, там меня не было, увыв мне, какая преграда отделила меня от лица твоего? И я сказал: «Отвернулся я от взора очей твоих, а случится ли вновь созерцать, видеть тебя когда-нибудь? Уже ведь не смогу увидеть тебя когда-либо. Уже более не смогу увидеть тебя здесь в дальнейшем, ибо ты уже преставился, как сказано, я же, увыв мне, остался для тягостных дней. Уже между нами великий рубеж возник. Уже «между нами великая пропасть утвердилась». Ведь и ты же, как тот добрый нищий Лазарь, почиваешь ныне на лоне Авраамовом, я же, окаянный, словно тот богатый, пламенем палим». Увы мне, богат я грехами; лишенный всего доброго и исполненный срамных дел, собрал я разнообразный греховный груз тлетворной страсти и духовного вреда. Все это скопив и собрав, создал себе сокровище. И, разбогатев этой мерзостью

пагубно, люто, словно богатый в древности, будто пламенем, страстями телесными люто обжигаемый, кричу: «Остуди уста мои, охлади язык мой, будто перстом, влагой твоих молитв. Ибо жестоко страдаю, грехом сластолюбия, будто пламенем, опаляем. Но влагой своих слов остуди уста мои и молитвой целомудрия охлади меня. Угаси пламя страстей моих. Увы мне, кто мне пламя угасит? Кто мне тьму осветит? «Вот в беззаконии я зачат», и беззакония мои умножились, беззакония мои уподоблю морским волнам, помыслы же — лодкам среди встречных ветров. Увы мне, как проживу мою жизнь? Как переплыву «это море великое и пространное», простирающееся, печальное, многомутное, <в покое> не стоящее, волнующееся? Как проведу духовную ладью между волнами свирепыми? Как избавлюсь от бури страстей, мучительно погружаясь в глубину зла и глубоко утопая в бездне греховной? Увы мне, волнуясь среди пучины житейского моря, как же достигну тишины умиления, как же дойду до пристани покаяния? Но будучи добрым кормчим, отче, рулевым, наставником, выведи меня, молю, из глубины страстей. Поддерживай и помогай моему сиротству. Сотвори обо мне, отче, молитву Богу. Тебе ведь была дана благодать молиться за нас. Вот молитвы твои и добродетели твои были помянуты. Так, «имея дерзновение к Богу», преподобный, помолись и за меня. Ведь «я раб твой». Помню лишь любовь, которую ты имел ко мне, которой меня возлюбил, от которой за меня неоднократно прослезился. Хоть и умер ты, как к живому, к тебе обращаюсь, вспоминая прежнее любовное расположение, потому восславить тебя стремлюсь, но не умею. Ведь все, что произношу — убогие слова, ибо ничтожные, поистине ничтожные и полные невежества. Но, однако, прими их, отче честнейший, как отец лепет из уст бессловесного ребенка или будто от той убогой вдовы два медяка, монетки, две копейки, что превыше прочих были приняты — так и мою малую и ничтожную похвалу прими, приносимую и произносимую скверными и грешными устами. Да как же тебя нареку, о, епископ, или как тебя поименую, или как тебя назову и как о тебе провозглашу, или кем тебя посчитаю, или как к тебе обращусь, как восславлю, как воздам честь, как восхвалю, как расскажу и какую хвалу тебе сплету? Так кем же тебя нареку? Пророком ли, ибо ты пророческие прорицания истолковывал и предсказания пророков объяснил, и среди людей неверующих и непросвещенных был как пророк? Апостолом ли тебя поименую, ибо ты апостольское дело совершил наравне с апостолами, равный им образ имея, подвизаясь, стопам апостольским следуя? Законодателем ли тебя назову или «законоположником», что людям беззаконным дал закон и им, не имевшим закона, установил веру и «закон положил»? Крестителем ли тебя объявлю, ибо ты крестил многих людей, идущих к тебе для крещения?

Проповедником ли тебя провозглашу, поскольку, крича, будто глашатай на торгу, ты среди язычников громогласно проповедовал слово Божие? Евангелистом ли тебя нареку или благовестителем, что благовествовал в миру святое Евангелие Христово и дело благовестителя совершил? Святителем ли тебя поименую, поскольку ты высший архиерей, самый старший святитель, поставляя священников в своей земле, стоял над прочими священниками? Учителем ли тебя прозову, ибо ты учительски научил заблудший народ; и неверующих к вере привел, и людей, бывших язычниками? Да как же тебя еще назову? Страстотерпцем ли или мучеником, ибо мученически предался ты добровольно в руки людей, распалющихся на мучительство, и, «будто овца среди волков», отважился на страдание, на терпение и на мучение? Хоть и не пролилась кровь твоя при мученической кончине, к которой ты приготовился, однако многократно угрожали тебе многие мученические смерти, но от всех от них избавил тебя Господь Бог. Ибо хоть и не вонзилось копьё в твои ребра, хоть и не срубил меч твоей головы, однако по своему желанию и своей воле был ты мучеником. Многократно ведь хотели неверующие пермяки убить тебя, внезапно порываясь на тебя напасть, иногда с кольями, с палками, жердями и с большими дубинами, иногда — с топорами, иной раз — стреляя стрелами, порой же — зажигая возле тебя солому и желая так тебя сжечь, и многими способами задумывая тебя умертвить, но Господь Бог, Спаситель, спас тебя своим судом, который лишь ему ведом,

единственный избавитель тебя избавил. Тот, о ком ты проповедовал, сохранил тебя для служения себе, ибо был ты ему еще надобен и полезен для благого дела. Да как же обращаюсь к тебе? Пастухом ли назову, поскольку пас ты Христово стадо христианское словесных овец на траве разума жезлом слов твоих на пастбище учения твоего, а ныне самого тебя, пастуха паствы, пасут на невидимой траве? Как назову тебя, о, епископ? Определи ли тебя как «посетителя», ибо ты посетил «людей страдающих», ибо ты посетил землю Пермскую, «посетил землю и напоил ее», «и напьются от обилия», то есть, напьются — станут мудрыми от слов книжных, слов учения твоего? Ты пермских людей посетил и просветил святым крещением. Врачом ли тебя поименую, ибо людей, дьяволом пораженных идолослужением, исцелил, а недомогающих телом, душой болящих и духом недужных уврачевал? Как тебя назову, епископ? Отцом ли тебя нареку или наставником пермяков, ибо во Христе Иисусе святым Евангелием ты пермяков породил и православной вере научил, сделал «сынами дня» и научил быть «детьми света», и просветил святым крещением, ибо сыновья твои «родились» и ныне рождаются «от воды и Духа»? Да как же тебя еще нареку? Исповедником ли тебя исповедаю, поскольку исповедал ты Бога перед неверующими людьми? Ибо сам Спаситель сказал: «Кто исповедает меня перед людьми, того и я исповедаю перед Отцом моим, что на небесах». Воистину, хорошо ты услышал голос Христов, исповедал его в Перми перед людьми, и Христос, Сын Божий, исповедает тебя перед Отцом своим, который на небесах, перед ангелами и архангелами и перед всеми небесными силами. <...> Ибо Бог прославляет своих угодников, служащих ему верно. Тебя и Бог прославил, и ангелы восхвалили, и люди почтили, и пермяки восславили, иноплеменники покорились, иноверцы устыдились, язычники посрамились, кумиры сокрушились, бесы исчезли, идола были попораны.

Да как же я, многогрешный и неразумный, следуя похвальным словам тебе, плетя слово и плодя слово, и думая словом почтить, и похвалу из слов собирая и получая, и приплетая, вновь говоря, — как еще тебя нареку? Вождем заблудших, обретателем погибших, наставником обманутых, руководителем ослепленных умов, очистителем оскверненных, искателем рассеянных, хранителем ратников, утешителем печальных, кормильцем голодных, подателем нуждающимся, наставником неразумных, заступником обиженных, усердным молитвенником, истинным ходатаем, спасителем язычников, проклиная бесов, ниспровергателем кумиров, попирателем идолов, служителем Бога, рачителем мудрости, любителем философии, вершителем целомудрия, творцом правды, толкователем книг, создателем пермской грамоты. Много у тебя имен, о, епископ, много имен ты стяжал, ибо многих даров был достоин, многими благодатями обогатился. Да как же тебя еще по-другому нареку, какие еще нужны тебе наименования, каких названий еще не хватило, чтобы восславить тебя? Хоть я и постарался произнести слова в похвалу тебе, непонятно, должен ли был я словами служить тебе, я, окаянный, убогий невежда, многогрешный среди людей и недостойный среди иноков? Как восславлю тебя, не знаю. Как выскажу, не разумею. Чем прославлю, не знаю. Поскольку же исполнился я великого непонимания, «ибо душа моя исполнилась бедствиями» и «многими отяготился я грехами», не могу по достоинству описать твою жизнь, благонравие и благое времяпрепровождение, слова и учение и дела рук твоих, и все остальное по порядку. <...> Доколе не остановлюсь в хвалебных словах? Доколе не прекращу начатого и пространного славословия? Ибо, сколько я ни пытался закончить речь, любовь к нему призывает меня к восхвалению и плетению словес, решил я, худший из всех, еще и «подобный извергу», написать о преподобном отце нашем Стефане, бывшем епископом в Перми. Я ведь «наименьшим был среди братьев моих» и худшим среди людей, и меньшим среди человеков, и последним среди христиан, и негодным среди иноков, и несведущим в словах.

Должно же уже заканчивать слово, но прежде прошу всех, кто в эти писания вникнет и раскроет, и прочтет, и послушает, и внемлет, и обдумает: господа мои, не удивляйтесь мне, окаянному, не кляните меня, грешного. Взываю к вашему братолюбию и любви во Господе. Вы, что прочитаете эти невежественные повествовательные писания, излейте за

меня молитвы ваши к Богу, ибо я восхваляю жизнь святых отцов, увы мне, а сам нерадиво живу. Горе мне, говорящему и не делающему, учащему и не слышащему. И бесплодная, увы мне, я смоковница, «одни только листья» имею, одни только книжные листья переворачиваю и книжными только листьями, написанным, хвалюсь, а плода добродетели не имею. Зачем только праздно хожу по земле? Потому и боюсь проклятия с казнью. Боюсь сказанного: «Вот уже у корня дерева топор лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Боюсь Господа, сказавшего: «Всякую ветвь, не приносящую у меня плода», «собирают и бросают в огонь, и она сгорает». Боюсь сказанного апостолом: «Не слушатели Закона правы будут, но исполнители». Потому добрым словом прошу вас и с умилением припадаю, и со смиренномудрием молю, крича: «Не презирайте меня, окаянного, если случилось мне где-то написать «речь зазорную» и неукрашенную, и нестройную, и неискусную». Мне же кажется, что ни одно слово не является удовлетворительным или же подходящим и полезным, а все убого и исполнено невежества. Но хоть и неумело что-то было написано, однако кто-нибудь лучший и более мудрый во Господе сможет это составить и как следует поправить, неукрашенное украсить и нестройное построить, и неискусное разукрасить, и неоконченное окончить. Подобаает же окончить слово и более не мудрствовать или украшать, не умея, для исполненных любомудрия, разума и высших и больших нас умом. Мне же, однако, полезнее умолкнуть, чем расстилать паутинную пряжу, словно нити паучьих сетей плести. Но не осудите моего невежества. Если же об этом продолжил повествование и продлил речь, то не от мудрости, а от невежества постарался это высказать, словно младенец, лепеча перед своими родителями, или, словно слепой стрелок, стреляя невпопад, — так и я совершенно скудоумный, не различающий даже ни левой руки своей, ни правой. Принудил свою неученость, будто забыл, увы мне, грехи свои и поистине неизлечимые свои струпья, стирая недостойную свою руку, открывая прескверные свои уста, отважился на это и принудил себя. И просто прошу вас, от мала до велика, сотворить за меня молитву к Богу, чтобы, оканчивая слово вашими молитвами, смог бы я сказать: «Слава тебе, Господи, все создавшему, слава тебе, создателю Богу, слава «давшему» нам Стефана «и назад взявшему», слава вразумившему его и умудрившему, слава укрепившему его и наставившему, слава посетившему тем самым и просветившему Пермскую землю, слава спасающему род человеческий, слава «желающему всех людей спасти и в истинный разум привести», слава «давшему мне жизнь», чтобы я это написал, слава Богу за все, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

### О произведении:

Мартирий Зеленецкий (?—1603) написал свои автобиографические записки в период 1570—1595 гг., вероятнее всего в 80-х гг. XVI в. Позднейший редактор назвал произведение «Повестью о житии» Мартирия и снабдил некоторые эпизоды заголовками.

По функциональному назначению текст представляет собой завещание-устав игумена-основателя монастыря. Духовное завещание Мартирия должно было храниться у его духовника Досифея, а после смерти Мартирия стать известным братии монастыря. Своеобразие завещания-устава Мартирия Зеленецкого состоит в том, что основное внимание автор уделил не изложению монастырских правил и поучению братии, а рассказу о создании Троицкого Зеленецкого монастыря, о видениях и знамениях, которые побудили его основать обитель на окруженном болотами Зеленом острове. Особенно замечательна своим искренним личностным тоном первая, исповедальная, часть произведения, в которой Мартирий рассказывает Досифею о своей неудавшейся попытке пустынножительства. Этот рассказ предназначался только духовному отцу и, возможно, представляет собой уникальную запись исповеди, повествования, которое, как правило, существовало в устной форме.

Характерная черта произведения — отражение в повествовании устной речи. Это проявляется в использовании разговорной лексики, употреблении оборотов устной речи, в непосредственности перехода от одного эпизода к другому и нарушении хронологии в последовательности эпизодов. Рассказ изобилует жизненными конкретными подробностями, психологическими личностными деталями. Многие эпизоды обладают элементами сюжетного повествования. Все это превращает завещание Мартирия в произведение, являющееся примером «углубления литературных функций» (ср.: Лихачев Д. С. Предпосылки возникновения жанра романа в русской литературе // Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 94) документа и перерастания жанра духовной грамоты в автобиографическую повесть.

Автобиографическое произведение Мартирия Зеленецкого публикуется по единственному сохранившемуся списку второй половины XVII в.: РНБ, 0.1.424, л. 161—176 об.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ МАРТИРИЯ ЗЕЛЕНЕЦКОГО ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА МАРТИРИЯ, ЖИВШЕГО В ОБЛАСТИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА В ОБОНЕЖСКОЙ ПЯТИНЕ, В ПУСТЫНИ, НАЗВАННОЙ ЗЕЛеноЙ, ТО, ЧТО САМ О СЕБЕ ПОВЕДАЛ ОТЦУ СВОЕМУ ДУХОВНОМУ И СВОИМ УЧЕНИКАМ: КАК И ГДЕ ЖИЛ ДО ПРИХОДА СВОЕГО В ТУ ПУСТЫНЬ, КАК НАШЕЛ ЕЕ, КАК ПОСЕЛИЛСЯ, ЦЕРКВИ ПОСТРОИЛ И ОБИТЕЛЬ СОЗДАЛ. ПРИШЕЛ ЖЕ ОН В ТУ ПУСТЫНЬ ПРИ БЛАГОЧЕСТИВОМ ЦАРЕ И ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ ИВАНЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ, ВСЕЯ РУСИ САМОДЕРЖЦЕ, И ЖИЛ МНОГИЕ ГОДЫ, А УМЕР В ТОЙ ЖЕ ОБИТЕЛИ В ЦАРСТВО БОРИСА ГОДУНОВА

Духовный мой брат Досифей, тайну цареву следует хранить, дела же Божии громогласно проповедовать. Расскажу тебе о себе, о том, как и где жил я до поселения своего в этой пустыни. Жил же я прежде в Великих Луках во вновь созданном Сергиеве монастыре у строителя той обители священноинока Боголепа. В той обители я пострижение и от мира отречение совершил и воспринял святой ангельский образ от руки того же священноинока Боголепа. Он поставил меня келарем и поручил мне службу казначея и пономаря; я и посуду мыл, и во всех службах монастырских послужил в послушании отцу своему и братии в обители той семь лет.

48 Подготовка текста, перевод и комментарии Е. В. Крушельницкой

И возникло у меня стремление к отшельнической жизни; сговорился я с одним поваром бельцем идти в пустынь, куда Бог наставит. Вдруг пришел ко мне в келью один юродствующий, именем Михаил, и сказал мне: «Мартирий, пойди один». Пошел он и к тому повару и сказал ему те же слова: «Пойди один». Еще раз я договорился с тем поваром идти в пустынь в день архистратига Михаила. В тот же день в Великих Луках было освящение церкви архистратига Михаила. Когда начали освящать церковь, мы втайне вышли из монастыря и отошли от Великих Лук шестьдесят поприщ. В ту же ночь выпал снег по колена. Нашли мы совершенно безлюдное место и хотели там поставить хижинку, но это было невозможно, потому что мох засыпало снегом и нечем было конопатить. И возле какого-то источника, на берегу, в земле, в глине выкопали мы себе землянку и покрыли ее еловыми ветками. Велел я своему товарищу пойти в селение за одной снастью, которой делаются разные дыры. А он пошел и не вернулся больше ко мне, в деревне же той рассказал обо мне одному христианину: «Такой-то старец живет в таком-то месте». И тот христианин приходил навещать меня. Я же жил в той пустыни и питался ремеслом своим: плел из лыка лапти и с тем крестьянином посылал по селам жителям, а они посылали с тем же крестьянином нужное мне. И я, грешный, принимал с благодарностью от них принесенное и молился за них Богу.

В той пустыни я от бесов много страха натерпелся. Приходили они и пугали меня, стоя у моей хижины за дверьми и говоря друг другу: «Спит он». А один бес проник в хижину мою и хотел ко мне прикоснуться, как бы желая меня задушить. Я же беспрестанно творил Иисусову молитву, и он убежал от меня. Другие же бесы, которые стояли у кельи пред дверьми, сказали тому бесу: «Почему ты не осмеливаешься (напасть) на него?» А бес им ответил: «Пойдите вы сами к нему и дерзните!» Я же, творя молитву, сказал им так: «О, падшие бесы, что сделали вам я, грешный? Вы же привели меня в эту пустынь и хотите подвергнуть меня поруганию. Я же, грешный, надеюсь на Господа Бога моего Иисуса Христа и на Пречистую его Мать, и на силы небесные, на Михаила и Гавриила, и на своего святого ангела, хранителя души и тела моего, и на всех святых».

И в другой раз лег я спать; пробудившись же от сна, промедлил и не встал с ложа своего. А день наступил праздничный, и тот преждеупомянутый христороубец принес нужное мне и ушел. Я поднялся, отпел канон и часы, потом поставил на стол съестное, но ни к чему не прикоснулся, казня себя за леность. Сам же я думал про себя: «О, окаянная моя плоть, за леность свою недостойна ты и воды пить». Потом прослезился и сказал: «Господи превечный, Царь Небесный, дух бодр, а плоть немощна, но дай же мне, Господи, сухого хлеба омочить в воде и душу напитать». И не прикоснулся я ни к чему от съестного, кроме сухариков и воды. Вдруг загредел сильный гром, так что и земля затряслась, и ложка моя со стола упала на землю.

Потом я, грешный, написал к отцу своему духовному, чтобы он благословил меня в пустыни той жить. Но он не благословил меня жить в пустыни, а сказал мне: «Пойди, господин, жить в общежительстве». Я же, грешный, пошел в город Смоленск помолиться Пречистой Богородице и великим чудотворцам Авраамию и Ефрему. И те чудотворцы явились мне и сказали так: «Должен ты жить в пустыни, где Господь благоволит».

Наставление игумена Мартирия к братии

Духовный мой брат Досифей, пишу тебе эту духовную памятку кратко и скрытно от братии, ты же держи ее у себя Бога ради до тех пор, пока Господь не благоизволит и не возьмет меня от жизни этой суетной, и не помянет многих моих грехов по милости своей. Братья мои милые, прошу вас и молю, чтобы вы не надеялись ни на князя, ни на боярина, ни на какого властителя, а имели бы во всем надежду на Живоначальную Троицу и на Пречистую Богородицу — они вам будут во всем помощники и заступники. Имейте почтение к царю земному и к его царевичам, и к властям. Не просите у них ничего, как и я, грешный, почитал их и не просил у них ничего, а во всем надеялся на Живоначальную Троицу и на Пречистую Богородицу. И чего у них, у светов, просил, то они мне, грешному, даровали. У них только осмеливался все просить. Так и вы держайте у Живоначальной

Троицы и Пречистой Богородицы все просить и кроме них помощников себе никого не ищите. А за земного царя, государя нашего, Бога молитесь, и за его царевичей, и за все его войско. Потому что он, государь, за нас, за грешных, страдает и кровь проливает за святые церкви и за все православное христианство.

А вспоминал я, живя в монастыре Пресвятой Троицы и Пречистой Богородицы, слова Иоанна Предтечи, который так сказал старцу, хотевшему оставить свою пещеру и идти к Синайской горе: «Эта пещера для тебя лучше Синайской горы, если живешь в ней с верою». Так и вы, братья, живите с верою в монастыре Живоначальной Троицы и Пречистой Богородицы, не уходя.

А если Бог изволит, и государь станет вас жаловать, или начнет наделы земли давать, или грамоту отводную, то вы у него не берите, потому что окрестная земля — десница Светодавца и риза Пречистой Богородицы, и образ свой чудотворный Богородица хранит от всякого зла. Если будете непритворно любить друг друга и ропотом Светодавца и Пречистую Богоматерь не разгневаете, и станете трудиться с радостью и от своих праведных трудов питаться, я надеюсь, что милость Божья и Пречистой Богородицы будет на вас пребывать, как и на мне, грешном. А если Бог и Пречистая Богородица изволят положить государю на сердце, и он станет милостыню давать на поминание своих родителей, или на свечи и фимиам, и на пшеницу, и вы то от государя принимайте с любовью, как от десницы Светодавца, потому что не вы у государя просили, а Бог и Пречистая Богородица на то его вразумили.

Об указании места иконы Пречистой Богородицы

Я, многогрешный старец Мартирий, не своевольно, а по Божьему благоволению и с помощью Пречистой Богородицы поселился в этой пустыни, на этом святом месте.

Еще когда я жил в Великих Луках в Сергиевом монастыре в одной келье со строителем Боголепом, за семь лет до прихода моего в эту пустынь, явилась мне Пречистая Богородица образом своим честным, не наяву, а в сонном видении; случилось это так. Будучи в обители той пономарем, поднялся я на колокольню в полдень и уснул. И увидел во сне огненный столп, будто бы в этой стороне стоящий. Приблизился я к тому огненному столпу и увидел стоящую около него икону Пречистой Богородицы Одигитрии, позолоченную, величиной такую, как икона Одигитрии на Тихвине, стоит в церкви за клиросом с левой стороны, принесена из Старой Руссы. Я же будто бы к той иконе припал, а икона была очень горяча от огненного того столпа. Пробудившись от сна, я был в ужасе от этого видения, а когда прикоснулся рукою к своему лбу, то почувствовал, что он горяч.

Второе видение той же иконы

Когда же я пришел в эту пустынь, по прошествии многого времени после того видения, лег я отдохнуть и заснул. И увидел во сне у пустыни море, а на том море плавает икона Пресвятой Богородицы Одигитрии, такая же, как и прежде мне явившаяся. Я же стоял на берегу и увидел, что недалеко от той иконы на море лежит пораженный бес. Посмотрел я на правую сторону и увидел стоящего в воздухе архангела, видом же он был такой, как пишется архангел Гавриил на иконе Благовещения Пресвятой Богородицы, со скипетром. Я захотел перекреститься у иконы Пресвятой Богородицы, как и прежде, но испугался воды морской — вдруг потопит меня. И сказал мне тот архангел, стоящий в воздухе: «Почему не осмеливаешься подойти перекреститься к иконе Пречистой Богородицы?» Я же, грешный, ответил ему: «Господин, боюсь». А он сказал мне: «Чего боишься?» Я ему снова ответил: «Бесовского действия — вдруг меня уловит». Архангел же опять сказал мне: «Не бойся, иди к Пречистой иконе». И вдруг икона та начала погружаться в море, и оставалась над водой только часть ее с изображением ножки младенца Христа. И увидел я Божие милосердие к себе в том, что мне оставлена ножка Светодавца. И я, грешный, будто бы подумал про себя: «Если мне и придется тонуть в воде, но лишь бы мне прикоснуться к ножке Светодавца». Тотчас осмелился я войти в море и взялся за его ножку обеими руками, и начал плакать, проливая слезы и говоря: «Милостивый Светодавец, если мне придется и потонуть, но лишь бы с тобой». И вдруг как какою-то бурей перенесла меня та

икона через море и поставила на берегу, на другой стороне моря. И скрылась от меня та икона. И еще увидел: вот город новый и лавки новые, а покупающих и продающих нет. И тотчас пробудившись от сна, я был в сильном страхе и радости от видения того.

Были в первой моей келье на стене две чудотворные иконы — Живоначальной Троицы и Пречистой Богородицы, а перед ними стоял зажженный светильник с маслом. И я, взяв в руки чудотворную икону Пресвятой Богородицы, начал плакать, проливая слезы и говоря: «Царица госпожа Богородица, за что ко мне, грешному, проявляешь милосердие свое? Ибо я, окаянный, хуже бесов!» И вдруг услышал я, не знаю откуда, голос, не во сне, а наяву говорящий мне: «Старайся — увидишь и не ту одну Божию благодать». А потом Федор Сырков велел мне церковь с трапезной построить в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Рассказал мне, Мартирию, один христианин, именем Иосиф, из села Буборины — ведь вы и сами слышали от него — вот что: «В летнее время, в полдень, после Петрова дня накануне дня Козьмы и Дамиана, когда лежал я и спал в своей клети, приснился мне сон, будто бы вышел я на улицу. И увидел стоящий в этой пустыни огненный столп от земли до неба, а из того столпа простирается рука, как человеческая, и из руки той исходят искры огненные». Так рассказал Иосиф свой сон, ибо показал ему это видение Бог. Был он однажды очень болен и находился при смерти, и пообещал мне, Мартирию, после себя коробью ржи, чтобы я, старец, поминал его. Бог исцелил его от болезни, и он выздоровел. Пожалел он ту рожь, обещанную мне, старцу, думая про себя: «За что мне тому старцу давать рожь? Помилвал меня Бог, и выздоровел я». Поэтому и показал ему Бог и Пречистая Богородица это видение, для его уверения. Он же, это увидев, пробудившись от сна, тотчас пришел ко мне в пустынь и, прощения прося у меня, сказал: «Бога ради прости меня, честный отче. Виноват я перед Живоначальной Троицей и Пречистой Богородицей, и перед тобой, отче. Внушил мне дьявол в мыслях моих, чтобы не дал я тебе той ржи, обещанной тебе. Ныне же, честный отче, прими обещанную рожь свою». Я же сказал ему: «Господин, нет у меня жерновов, чтобы ее смолоть. Но если проявится твое человеколюбие ко мне, то, измолвлю ее, пеки и присылай мне хлебами». Он так и сделал.

После этого видения, перед поставлением меня на игуменство в эту пустынь, спал я в своей келье в чулане. И увидел во сне Пречистую Богородицу в облике девицы, красивой видом, никогда я не видел среди людей такой пригожей девицы. Добра лицом, красива видом, большие глаза и брови черные, а нос средний с изгибом, на главе же у нее, госпожи, венец золотой, украшенный разными большими цветами, — движется! Невозможно человеку ни умом понять, ни языком сказать, ибо сияет, как солнце. Сидит она в келье моей на лавке в большом углу, там, где иконы стоят. А я будто бы вышел из чулана своего и стоял перед нею, смотрел же на нее усердно, не сводя очей своих с красоты ее. И она, Царица и Богородица, тоже на меня смотрела. Я же на нее смотрел не отрываясь и видел милостивое ее лицо, а очи ее были слезами наполнены — едва на пречистое лицо ее не прольются. И вдруг скрылась от меня. Я же пробудился от сна в страхе. Поднялся я, вышел из чулана своего, зажег свечу от лампы и захотел увидеть непорочную деву — сидит ли она в келье моей на месте, где видел ее сидящей. Вышел я на середину кельи своей и не увидел ее на месте том. Тогда я подошел со свечою к иконе Пречистой Одигитрии, которая стоит в моей келье, посмотрел на ту икону и понял, что воистину явилась Пресвятая Богородица тем видом, как и на иконе моей келейной образ ее написан.

Вскоре после того видения я ездил в Великий Новгород, и в Великом Новгороде по милости Божьей и Пречистой Богородицы архиепископ произвел меня в игумены в эту пустынь, называемую Зелена. А молился я о милости ко мне Пресвятой Богородицы так: «Пречистая Госпожа, Царица Небесная, посещала ты, Госпожа, великих чудотворцев, Иоанна Предтечу, и Сергия и Александра преподобных новых чудотворцев, и всех святых, но это не удивительно, потому что они от материнской утробы святы и твоего посещения достойны. Будет же очень удивительно и чудно на земле и на небесах, если меня,

грешного и окаянного, своим милосердием посетишь на уверение души моей грешной и на утверждение этого святого места». И она, Пресвятая Богородица, моления моего не отинула и грешного меня своим милосердием посетила, и мне, окаянному, явилась.

О приходе игумена Мартирия из Великих Лук на Тихвину в монастырь Пречистой Богородицы и о первом его приходе в Зеленую пустынь

Когда же пришел я из Великих Лук на Тихвину в монастырь Пречистой Богородицы, жил там, будучи пономарем, ученик мой именем Авраамий, который пришел раньше меня из Великих Лук к Пречистой Богородице на Тихвину; и начал я жить с ним в одной келье на Тихвине. Поведал я ему об отшельнической жизни, сказав: «Брат Авраамий, хочу испытать себя на некоторый срок в пустынной жизни и думаю идти с Тихвины в Поморье, чтобы люди не знали меня». Авраамий же поведал мне следующее, сказав так: «Не ходи ты, отче, в Поморье или куда-нибудь еще, а иди в пустынь на то место, которое я знаю. Однажды вечером, в сумерках, шел я с книгою по монастырю из церкви, от чудотворной иконы Пречистой Богородицы, в трапезную; и посмотрел на небо в ту сторону, где теперь эта пустынь, и увидел на небе над тем пустынным местом засиявший крест, светлый, как луч, и весь украшенный звездами. Я место то знаю, и воистину над тем местом крест мне явился; место же то было недоступно, ибо во мхах стоит. А ты походи туда и кроме этого места не ищи другого, живи же там, покуда тебе Бог даст, ибо будет в том месте Божие милосердие». Так мне, Мартирию, ученик мой Авраамий рассказал про это святое место.

Потом я в этой пустыни, называемой Зеленая, поселился. Вскоре же и храм построил во имя Святой и Живоначальной Троицы. Начал я из часовни иконы местные носить в новую церковь Святой и Живоначальной Троицы. Взял икону чудотворную Святой Троицы и велел старцу Гурию нести ее в церковь, сам же я шел за ним с другой чудотворной иконой, Пречистой Богородицы Одигитрии. Стал я в церкви расставлять иконы по местам. А тот Гурий вышел из церкви и посмотрел на небо, и увидел на небесах засиявший крест, видом же он был, как крест, стоящий на церкви Святой Троицы, не из звезд составлен, как прежде видел ученик мой Авраамий, а просто светом, как крест на церкви Святой Троицы, похожий на благословляющий крест, которым иерей благословляет народ.

Вы же, братья, слышите и видите, какие Пресвятая Троица и Пречистая Богородица чудеса творит от иконы своей: бесов отгоняет и больных исцеляет, хромых и слепых здоровыми делает, и многие чудеса творит, известные и неизвестные. И вот, братья, слыша и видя такое Божие и Пречистой Богородицы милосердие, кто не удивится и не прославит Пресвятую Троицу и Пречистую Богородицу! Молю же вас, братья, о том, чтобы вы твердую веру имели к этому святому месту и любовь между собой непритворную, и моего слова не попирайте, — как говорил вам и заповедовал, так и делайте. Меня же, грешного, в святых своих молитвах поминайте, тогда и сами помянуты будете у Господа Бога и у Пречистой Богородицы, и Бог мира да будет с вами всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

А писал Зеленой пустыни дьяк.

## XVII век – «Переходный век русской литературы»

### Письма юродивого<sup>49</sup>

#### **О произведении и авторе:**

*В наши дни слова «похабный» и «блаженный» означают совершенно разные вещи. Между тем в древнерусском языке они были намного ближе по смыслу (похабный означало «жалкий», а похаб - «дурак») и описывали одно и то же явление, для обозначения которого ныне осталось только одно слово: «юродство».*

#### **Иная реальность**

*Юродивым именуется человек, который публично симулирует сумасшествие, прикидывается дураком или шокирует окружающих нарочитой разнузданностью. Однако разного рода экстравагантность может быть названа юродством лишь в том случае, если его свидетели усматривают за ней не просто душевное здоровье или строгую нравственность, а ещё и иную реальность. В контексте православной культуры эта реальность - божественная, в контексте светской культуры Нового времени - психологическая. В обоих случаях задача юродства - показать, что вроде бы очевидное в действительности обманчиво. При этом «религиозный» юродивый своим поведением говорит о неисповедимости и неотвратимости высшего суда, а «светский» - о глубине своей натуры и о собственных невидимых миру достоинствах. В нашем языке второй смысл юродства закономерно развился из первого. Сам факт, что при разговоре о юродстве - древнем и странном феномене - русские (и только они одни) могут без кавычек и дополнительных пояснений употреблять это слово в рамках современного языка, чрезвычайно показателен. Он демонстрирует важность данного явления в нашей культуре. В православии считается, что юродивый добровольно принимает на себя личину сумасшествия, дабы скрыть от мира собственное совершенство и таким способом избежать суетной мирской славы. Вторым побудительным мотивом юродства церковь считает духовное наставление в шуточной и парадоксальной форме. Однако творимые юродивым непотребства могут иметь воспитующее значение лишь при его отказе от инкогнито (иначе чем бы он отличался от непритворных похабников, настоящих сумасшедших?). А это противоречит первой и главной цели подвига юродства - безвестности.*

*А если юродивый не собирается никого воспитывать, то уберечься от славы гораздо легче в пустыне. Юродивый же, как на грех (и в переносном, и в прямом смысле), стремится быть в гуще людей, поклонения которых так опасается. Значит, уже в самом изначальном определении юродства кроется глубокий парадокс. Но если христианский взгляд на мир парадоксов не боится, то для светского исследователя такая точка зрения недостаточна.*

*Святость, становясь объектом научного изучения, неизбежно перестает быть тем, чем она является для верующего. Для последнего вопрос стоит таким образом: как извлечь из памятников культуры свидетельства о реально существовавших юродивых? Мы же ставим в каком-то смысле противоположный вопрос: откуда в культуре появляется идеал юродивого? Поэтому никаких пересказов историй о знаменитых юродивых. О чем*

---

49 От публикаторов: Публикуемые тексты переданы с орфографическими упрощениями: полностью воспроизведены слова, которые в рукописи написаны под титлами; не употребляемые сейчас буквы ("юс малый", "фита", "ижица", "ять" и др.) заменены соответствующими буквами современного алфавита; твердый знак на конце слова опускается. Исправления и добавления издателя даются курсивом <в настоящей электронной версии -- в круглых скобках. Прим. сканера>.

\*1 Публикуется по рукописи ГПБ Q. 1.401, конволют XVII (2-я половина) -- XVIII вв. в 4-ку, 261 л., полуустав и скоропись. Публикуемые тексты составляют отдельную рукопись на л. 16 -- 35, писанную полууставом второй половины XVIII в.; водяной знак; медведь с секирой и литеры ЯМСЯ (см.: Клепиков С. А. Филиграния и штемпели на бумаге русского и иностранно! о производства XVII -- XX веков. М., 1959. № 772 -- 1783 г.). \*а-б Написано по затертому другим почерком и более светлыми чернилами.

думает реальный человек, которого общество канонизирует в чине юродивого, мы не узнаем вплоть до середины XVII века. Первый документ, в котором «похаб» описал свой внутренний мир, появился в русском городе Галиче. Тамошний житель Стефан Трофимович Нечаев, уходя юродствовать, оставил прощальные письма матери, жене и дяде. Казалось бы, уходишь - так уходи, возненавидел мир - так не вступай с ним в долгие объяснения. Тем более из письма Стефана выясняется, что это уже не первый его уход: в тексте, построенном в виде ответов автора на вопросы близких, есть и такой: «Почто еси прежде сего отшел от нас и вспять прииде к нам и мнил, яко (что) мир любиши, и жену поял (взял) еси?». Сам же автор и отвечает: «За скорбь матери своя». Это понятный ответ человека, подверженного человеческим чувствам. Но тогда следует другой вопрос: «Почто еси жену суццу младу опечалил? Лучше бы не женитися». А вот на это дан совсем иной, сверхчеловеческий ответ: «Богу тако изволившу ... Его же любит Бог, того и наказует». Оба ответа по-своему последовательны, но только не из одних и тех же уст. Самопрощение об руку с самообожествлением - это одна грань юродства.

В своем письме Стефан Нечаев пространно объясняет, насколько душевреден тот суетный мир, который он хочет покинуть. «Вы же, - обращается он к родным, - яко искусные кормилицы ... корабль душевный управляйте. Аз (я) многогрешный яко неискусный кормник ... убояхся в мори мира сего... Весте бо и вы, яко груб есмь и препрост». Вроде бы ясно: автор считает, что именно ему, по его слабости, опасно оставаться в миру, тогда как его родным, в силу их стойкости к соблазнам, это нипочем. Но дальше оказывается все совсем не так: «Аще (если) бы люб мне мир сей и его суетные покои, и подвизался бы о них, яко же и прочии человеци». «Прочии человецы» - это в первую очередь, конечно, родные, а сам Стефан уходит не потому, что слаб, а потому что силен: «Како вы, мати моя ... не можете утолити плача вашего! Смотрите и се, како аз гряду на чужую землю незнаему, оставя тебя... но не плачу тако».

Как только юродивый обретает наконец свой собственный голос, мы первым делом замечаем именно это кричащее противоречие: либо человек грешен, и тогда ему следует заниматься спасением собственной души, не смея судить других, либо он совершенен и ему довлеет печаловать о погрязшем во грехе человечестве. Безграничное самоуничижение рука об руку с величайшей гордыней - это вторая грань юродства.

Кажется, что в своих письмах Нечаев прощается навсегда: «Аз не требую суетнаго плача вашего и не возвращаюсь к вам. И аз убо умерл есмь мирови сему тленному ... Уже не мните мене жива... кости мои на чюжсей стране положени будут». Но оказывается, что Стефан не сдержал своего обещания. Из записки, приложенной к его посланиям, следует, что, хотя Сефан «оставль отца и мать, и жену, и единого от чад своих, юродствовал много лет», он все равно вернулся на родину и 14 мая 1667 года был «погребен в Галиче в Богоявленской церкви ... под трапезною на левой стране за печью, идеже он сам себе гроб ископа». Итак, Нечаев уходит, чтобы вернуться. Возвращение Стефана в небольшой город, где он наверняка был всем известен, не могло укрыться от его родственников. Если он юродствовал у них на глазах - значит, вероятнее всего, его целью был не столько упрек миру вообще, сколько причинение боли собственным близким. Мучительство, перемешанное с самоистязанием - это третья грань юродства.

Стефан хотел затеряться, стать безвестным на чужой стороне, но сделался знаменит у себя на родине. Он обзавелся кругом почитателей, сам приготовил себе могилу на видном месте и, по всей видимости, позаботился о том, чтобы о его подвиге было извещено как можно больше людей: «При погребении его по совету усердствующих списан со всего его подобия действительный образ ... При погребении были галицких монастырей архимандриты ... с братиею и всего града Галича священницы и диаconi». Скромность, переросшая в тщеславие, - это четвертая грань юродства.

Ключ к культурному коду

Перед нами смешение несовместимых жизненных амплуа. Случай со Стефаном Нечаевым уникален тем, что психологический рисунок и поведенческая установка здесь

*совершенно прозрачны. Тем не менее его жизненный проект увенчался полным успехом: «При погребении были ... от мирских чинов - галицкой воевода ... да преждебывшей воевода, дворяне ... и дети боярские и многия посацкия и уездные люди з женами и з детьми. Оный блаженный Стефан был человек убогий, а на погребение его стеклоя множество именитых людей». Общество хотело себе такого святого.*<sup>50</sup>

1

Список с епистолии, что был галичанин посадкой человек Стефан Трофимовичь Нечаев юродивый, с его рукописания, как пошел юродствовати, оставил на утешение матери своей Евдокие да жене своей Акилине.

Доблему читателю о господе радоватися. Аз грешный прошу и молю твою любовь: писах сию хартипу с великим поспешением изоустно, и аще что обрящещи (л. 16 об.) не лепо и просто, не позазри моему неразумию, исправи своим благоутробием. Еще молю твою кротость, прочитай сию епистолию тихо и сладко, не борзяся, дабы! умильно и разумно слышати родителем моим.

Всемогуший, непостижимый, в Троице славимы бог искони сотвори небо и землю и вся на ней. И потом насади рай и жителя в нем созда перваго человека Адама. И вложи \*а в него\*б сон глубок, выня у него ребро. И сотвори ему жену, прабабу нашу Евву. Созда же их яко аньелы, всякаго тления непричастны. Даде же им заповедь в рай от всякаго древа (л. 17) ясти, от одинаго же не вкушати, понеже зло есть.

Позавиде сатана житию их, яко зело почитаеми от бога. Сотворена же бысть змия в рай честна же. Лукавый сатана в змию вселися и обвився округ заповеданного древа. Не смея же ко Адаму глаголати лестных глагол, ведая, яко жена его послушает, яко муж жены креплее в разуме, приступи же к жене и глагола: "Почто от всех дров ясте, от одинаго же не ясте?". Она же к нему отвеща: "Бог нам заповедь предложи, яко смертию умрем". Сатана же ей лестию глаголет: "Съясте от древа сего, бози будете". Евва же вкуси от заповеденнаго древа и Адаму подаде вкусити. И оба быша нази (л. 17 об.) божия благодати. Прежде быша тленни, яко тленная совещаша, восхотеша быти бози -- и не быша. Господь же повеле из рая изгнати его и в поте лица своего от земли снадати хлеб, в и в нея возвращатися.

Прочее же да умолчим. Божественное писание удобно глубине морстей. Прочитах божественная писания Ветхаго и Новаго завета от Адама до Ноя, от Ноя до Моисея, от Моисея до воплощения сына божия.

Видя же бог создание свое\*г гиблемо и ратуемо\*д от врага, и не остави вконец погибнути. Посылалше пророки, повеле обращати от идолослужения. Уты и утолсте, забыта бога спасающаго преждебывшая

чюдеса при Моисеи. Остави(л. 18)ша бога, последоваша дияволу, и пророки его избита. Видя же бог обладание человечество от врага, и помилова создание свое.

Видите ли, братие, коль нами печется бог. Уже на кончину века ни ходатая, ни аггела, но изволи послати сына своего единороднаго на спасение наше и от пречистыя девы воплотитися, и от нея, ис чистых кровей примесити себе плоть, и обращати люди от идолопоклонения, и веровати во отца и сына и святаго духа. Они же, окаяннии, и того не усрамышася. Пригвоздиша его ко кресту и поругашася ему (отчасти да воспомянем, припадающе на колену), глаголюще: "Радуйся, царю иудейски! Многи спасе, себе ли (л. 18 об.) одинаго не можеша спасти? Сниди со креста, да веруем в тя". И плеваху на лице его, и по ланитам бияху.

Видите ли, братие, творец от создания своего колика поругания претерпе. Мы же слабы есмы, тварь от твари, сиречь друг от друга не можем одинаго слова досадительна

претерпети, по апостолу Павлу не взираем на начальника веры и совершителя Иисуса, колика пострада нас ради, и прочее, да прекратим невмещения ради малыя сея хартины (так!).

Рече господь во святом Евангелии: "Не может раб двема господиному работати, любо одинаго возлюбит, о другом нерадити начнет". И невозможно едином (л. 19) оком зрети на землю, а другим на небо. Такожде и нам, братие, невозможно мирская любезно желающим господеву работати. Любо едино возлюбим, а другое оставим. Пророк Давид глаголет: "Надеющиеся на господа, яко гора Сион, не подвижутся во веки". Той же: "Блажени вси надеющиеся на господа".

Виждь же и се, колико славимы суть от бога страдавши имени его ради. Коль ответ страшен презревшим заповеди его: "Отидите от мене, прокляти, во огонь вечный, яко не послушаете мене и не соблюдосте заповедей моих, такожде и аз не услышу гласа вашего, но пойдите мучитися в муки (л. 19 об.) вечныя, кождо по делом своим".

И мы, братие, устрасимся грозного сего ответа, по прибежем к богу покаянием, чистою совестью. Тесен путь ввода во царство небесное, пространен же влечет во дно адово. Блажени плачущи, яко ти утешатся. Кия, иже всегда смерть пред очима своими помышляюще и грехов своих плачущесе и Христа ради терпят всяку скорбь и беду от неразумных человек, а не ти утешени будут, иже плачут о суетах мира сего и о вещех его тленных, и от належаших скорбей и напастей. Но о сих подобает благодарити бога и за творящая (л. 20) пакости бога молити, и зла за зло не воздавати, подражающе Христу и святым его. Видите, братие, как нас любит бог, призывает нас: "Приидите ко мне вси труждающиеся мене ради и обременени грехи, и аз покою вы". Но что,\*е братие, сего прибежища краснее и полезнее? Аще прибежем к нему, царство дарует и веселие со святыми, конца не имущи. О сем же тленном житии аще тмами страждем и терпим, богатства собираем и неправдою -- мзду злу восприимем, и муку вечную без конца.

И аз, братие, пожих в покоях мира сего и во всех сладостех его (л. 20 об.) и ничто же приобретох. И разумех, яко льстив есть мир сей. Аще кто весь мир приобретает, душу же свою отщтит, ничто же есть. Убоимся, братие, мира сего паче лютаго зверя. Зверь бо тело вредит, а души не может погубити. Сей же зверь, мир прелестный, сластями своими тело упитевает червем на снадение, а душу вовеки губит и потом муки вечныя готовит.

Вопрос. Почто еси оскорбил родителей своих, паче же мать свою рождышую и жену младу сущу оставил еси? Писано (л. 21) ость, аще кто оставит отца или мать, жену и дети в беде сущих, а сам покоя ищет, проклят есть, понеже сам упитевает тело свое, яко телец упитанный, а родители его провождают дни своя в печали и в сетовании.

Ответ. Вем, яко есть оставляют их богу. Писано есть: "Не надейтесь на князи и на сыны человеческия, в них же несть спасения". Сего дни друг аз, а утра враг, или гробу предаваем. Буди же вам надежда, кроме бога, никто никого не ублюдет, ни упасет. Господь рече во святом Евангелии: "Аще (л. 21 об.) кто оставит отца или мать, жену или дети, села и великое богатство имени моего ради, сторицею примет и живот вечный наследит". Зрите, родителие мои, в мире сем остаются жены млады от своих мужей, малыя дети от отца и матери, и бог о них промышляет, греет и питает их.

Вопрос, яко в мире сем з женою возможно спастися. Мнози святыя мужи и з женами спаслися.

-- Вем, яко спаслися, но царство небесное им.

-- Почто еси в мире с нами не терпел скорбей и напастей?

Писано есть: \*ж "Нужно бо есть\*з царство небесное, и нужницы восхищают его".

Ответ, (л. 22) Любо мир сей напоследок бо уже. Аще кто искусный кормник, волнуящееся моря видя, дерзает на шествие, аще же управит -- похвала ему есть. Не искусен же да погибнет, удобнее ему искати отишия. Вы же, яко искусныя кормницы, в мори волнуящагося жития сего прелестнаго обремененный корабль душевный

житейскими печальми управляйте з божиею помощию. Но брезите твердо, понеже бури велии восташа на ны. Аз многогрешный яко неискусный кормник. Яко же аз, дерзнет в великое волнение мира сего и разбиен будет волнами мира (л. 22 об.) сего, да погибнет -- сам себе убийца, и з дияволом осудится в муку вечную. Аз же, яко неискусный кормник, убоаясь в мори мира сего великих волн, да не управлен буду. Ищю пристанища тиха. Весте бо и вы, яко груб семь и препрост. Зрите же и се, яко нимало пекохся о мирских, ни о домовых вещех. Аще бы люб мне мир сей и его суетныя покои, и подвизался бы о них, яко же и прочий чловецы.

Смотрите же и се, яко не простоты ради оставих мир сей и ни от\*и кого же гоним. Но елико кто смыслит, тако и подвизается. От мирских виждь, колико (л. 23) страждут от мира сего тленнаго узы и темницы, и раны великия, и иная тому подобная. И никто же может их разлучити от любве мира. Мнози и до крови стражут ради мира сего тленнаго. Аще бы люб мне мир сей, и аз подвизахся бы о вещех его. И размотрих, яко вещи его тленны суть, молю вас, родителие мои, господа ради и его пречистыя богородицы и для ради всех святых подайте ми святое свое благословение. И поминайте мя во святых своих молитвах, да бы избавил бог от зверя люта, вреждающаго души наша, а не тело.

Господь рече во святом Евангелии: "Имени моего ради ведени будете (л. 23 об.) пред цари и владыки. Не печетесь, что отвещаете. Аз бо подам вам дух в той час, яже подобает рещи. И не убойтесь убо от убивающих тело, души же не могущих убити". Аще вы мните, яко позабых вас, -- аще и телом отстою от вас, но духом всегда с вам (так!) есмь и попечение имею о вас, да бы избавил нас бог от искушения люта. Понеже ныне велико искушение вниде в мир за умножение грехов наших. О настоящем времени сем несть время вспомянути.

Вопрос. Почто еси прежде сего отшел от нас и вспять прииде к нам и мнил, яко мир (л. 24) любиши, и жену поял еси? Ответ. Аще бы не за скорбь матери своея (прочтох от нея писанную хартию, яко болезнует вельми; глаголют же, яко и ума изступити ей, и сама ся хочет\*к убийством смерти предати) убоаясь, яко простоты ради погубит себе, и послушах ея. Придох к вам и жену поях, утешая ея.

Вопрос. Почто еси жену сушу младу опечалил? Лучше бы не жениться.

Ответ. Богу тако изволившу. О жене моей бог промысленик и печальщик. Зрите: многие жены с мужи своими малое время живут и остаются (л. 24 об.) вдовами, и терпят напасти мира сего по божиею смотрению. Его же любит бог, того и наказует.

Вопрос. О превозлюбленный мой сыне и свете очей наших, почто скрываешия от нас? Мене, мать свою, убогу, а жену свою сиротою, младу сушу, оставляеши, а сам грядеши, не вем камо.

Ответ. О превозлюбленная мати моя! Любезная же и супруга моя! Оставляю вас пастырю доброму паче себе пещися вами и в напастех помогати вам.

Вопрос. О драги сыне мой, повеждь нам, кого глаголеши пастыря и прибежище в напастех (л. 25) избавляти нас.

Ответ. Пророк Давыд показа, х кому прибегати: "Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбех, обретших ны зело". И сего ради не убоимся, внегда смущается земля. Зрите: которыя остаются сиротами, и бог промышляет и питает их. И вами пещися имать той же. А меня, любимаго сына своего, на сие дело благословите, на неже дело за молитв ваших святых бог наставит. Иного же писати несть время. Но прочее простите мя, вси сродницы и знаеми. Аще и телом отстоя от вас, но духом, с любовию касаяся ног ваших, прощения прошу (л. 25 об.) от коегождо и до последняго. Будет кому кую грубость учинил по неправде или от неразумия, простите мя и благословите. И молити о мне бога желаемое получитьи.

-- Еще желаем слышати от тебе, сыне мой, утоли наши слезы.

-- О любезная ми мати, добляя же и супруга моя, послушайте, яко доблественно терпеша прежняя благочестивыя жены.

Некая жена благочестивая, с мужем своим два месяца поживши и позавиде, како стражут святии мученицы от нечестивых царей, преобидив тленное богатство. И не помысли того, яко с мужем своим (л. 26) не навеселихся, но, став пред царем злочестивым, исповеда Христа. Царь же повеле ея в ров левск вринути. Лвы же радующеса лизаху тело ея и не вредиша. Цареве же повеле поставити на судище.

И начал ласкати ея поклонитися идолом, понеже вельми лепа. И обещаваше ей великую честь и богатство, пред царицею его быти в первой степени. Она же не покориша повелению его, исповеда Христа и плюнув на лице злочестивому царю. Царь же осуди ея мечем усекнути. Муж ея и ближнии родители начаша молити ея: (л. 26 об.) "О любимая наша, сотвори волю цареву, и будеши веселитися с мужем своим в великом богатстве, и о нас будеши ходатайца ко царю, и будеши славна во всей области Цареве". Она же, прозривши суетное веселие с мужем своим, злочестивыи их нарече и слабы умом, понуждаше воинов царевых повеление исполняти. Воины же отсекоша главу ея. Душа же ко господу отиде, идеже вси святии.

Иных же благочестивых воспомянути оставих невмещения ради малыя сея хартицы.

-- О сыне мой любезны, невозможнo нам, слабым сущим, толиких напастей терпети.

-- Зрите, добли мои, о первых родех и по них сущих.

-- И о последних повеждь нам, любимы, на утечение плача нашего.

-- Некто от святых отец глаголет: "Сотворихом мы делом заповеди божия; после же нас впол сотворят; последний же и того не могут сотворити, напастями и бедами спасутся и больши нас прославятся от бога".

-- Еще повеждь нам, возлюбленный наш. Уже бо лица твоего не узрим и гласа твоего не услышим.

-- О любезныя мои, не скорбите, во оном веце узримся. Вас же (л. 27 об.) молю, ко святей церкви притекайте и мене поминайте во святых своих молитвах.

-- Еще\*л побеседуй с нами, любезное мое чадо, и утоли наше слезное рыдание. Глаголеши бо, яко уже не узримся.

-- Послушайте апостола Павла, глаголюща: "Слава солнцу, ина слава луне, ина же звездам. И звезда бо звезды вышше славою". Святии же отцы наша яко солнце просияша добродетельми и лучами своими, сиречь учением весь мир осветиша. Иной же подобяшеса луне светлостию, сиречь добродетельми. Ини же великой звезде в добродетелех подобяшеса. А ини малой звезде добродетельми, иже виждь (л. 28 об.), яко и малая звезда в небеси же содетелево повеление исполняет. И мы, братие, уподобимся светлостию малой звезде, сиречь добродетельми, лише бы царства небеснаго не погрешити.

-- Еще побеседуй с нами, драгое мое чадо.

-- Послушай, любезная моя мати, краткость жития сего суетнаго и скороминувшаго, еже мы плачемся о покoех его лестных и мимотекущих и подвигаемса о них всею душею, и божия заповеди его презревше. Зри, яко суще человецы сего дни с нами, а утре гробу предаем их.

Приидите, вникните во гробицы. Можете ли (л. 29) узнати, кое был царь или воевода, богат или нищ? Составы и сосуды плоти нашея, яко прах и смрад, снeдь червем быша. Преже составы плоти нашея любезны, ныне же гнусный и смердящий, яко сухи кости наша, не имуще дыхания. Смотри и раздвизай руками своими. Где красота лица? Не се ли очерне\*м? Где помизающи очи ясни? Не се ли растекoшася? Где власи лепи? Се отпадоша. Где вознесенная выя? Се сокрушися. Где брови и благоглаголивый язык? Се умолче. Где руце? Се рассыпашася. Где величество тела? Се разтася. Где риз украшение? Се истле. Где безумие юностное? (л. 29 об.) Се мимо иде.

Где великовеличавый человек? Се паки прах и смрад. Где золото и серебро и раба множество, где юность и лепота плоти? Вся изсохша, яко трава, вся погибоша.

О человеце неразумный, что ся еси зачал, что ся вознесл еси! Кал еси, вонь еси, пес еси смраден. Где твое спесивство? Где высокоумие? Где твоя гордость безумная, и где твое золото и серебро, где твое имение? Истлеша, изгниша. Где твое богатство тленное? Не все ли ичезе, не все ли погибоша, не все ли минуло, не все ли земля взяла?! Сего себе, неразумие, не разсудише,\*н что ти ся вовеки мучитися.

Видите, яко от богатства нашего, (л. 30) кроме единого савана, ничтоже возьмем. Но все останется, богатство, друзи и сердоболи, жена и дети. Но койждо примет по делом, еже содела.

Приидите, возплачите прилежно, да послушает мертвый плача вашего и востанет. Аще ли же не послушает и не востанет, то и аз не требую суетнаго плача вашего и не возвращюся к вам. И аз убо умерл есмь мирови сему тленному.

Два плача есть: плачь спасает, другий же губит.

-- Повеждь нам, возлюбленный мой сыне, кой плачь душу спасает.

-- Еже плакатися о гресех своих. Но радуюся и аз о том вашем плаче, да и мене грешнаго плачем тем (л. 30 об.) в молитвах своих поминайте. Писано есть: "Друг другу тяготы носите, и тако исполните закон Христов".

Уже ли есте престали\*о от плача вашего и от сетования? О мати моя рождышая, добляя же и супруга моя! Како могу умоли\*п плачь ваш безмерны и что повем на утешение от божественнаго писания? Уже бо прекратим. Како вы, мати моя, единого мене ради грешна человека не можете утолити плача вашего! Имате zde сродники и сердоболи.

Смотрите и се, како аз гряду на чужю землю незнаему, оставя тебе, матерь рождышую, и жену свою любимую, род и племя, (л. 31) и други, и вся красная мира сего. Но сие все остави Христа ради. Но не плачу тако, яко же вы весте, яко и мне жалостно вас ради. Но Христос дражайши и паче всех.

Но молю вас, да не скорбите о мне всуе. Аще кто отдаст\*р в дар нечто богу и жалеет о том, несть ему мзды: такожде и аз удалися от вас, да вы жалеете о мне и плачете. Несть вам благодарити бога, что господь бог мя исторгнул от сетей мира сего лестнаго, влекущих души наша во дно адово. Но плачемся грехов своих, всегда поминающе смерть пред очима своима. Той плачь вельми полезен и угоден богу.

(л. 31 об.).

И да не зазрите же ми, братие кто, яко тщеславия ради или похвалы писах сие, но зрите, како плачет мати моя и жена моя. Но молю и ваше благоутробие утолити плачь их и утешити от божественнаго писания, коль кому бог подарова.

Но молю тебе, мати моя, послушайте мене грешнаго и не презрите моего приказаня, еже заповедаю вам. Аще найдет на вас уныние и скорбь или кая теснота, или о мне грешнем в кое время вспомянете, не сетуйте. Но вместо себе оставляю вам малую хартию сию прочитати на утешение печалей своих.

Ожидайте же от мене вести сто семдесятого году в месяце октябре. (л. 32) Аще ли в том месяце не будет от меня вести, то уже не мните мене жива. Наше житие подобно травному цвету: сего дни цветет, а утре изсыхаемо и ногами попираемо. Да не пецытесе и о сем, яко кости моя на чюжей стране положени будут. Пред страшным же и нелицемерным судиею во второе его пришествие вси вкупе предстанем, истязаеми от бога, яже что кто соделал, добрая или злая, такожде и мзду примет от Христа бога нашего. Добро или зло, яже кто что посея, то и пожнет.

Дай же нам всем, милостивый боже, вечных твоих благ не погрешити и во оном веце (л. 32 об.) вькупе друг друга зрети и веселитися, и славити тебе, господа бога нашего, а в некончаемыя веки веком. Аминь. Конец. (л. 38)

Сей святыи и блаженный Стефан погребен в Галиче в Богоявленской церкви. А при погребении его по совету усердствующих списан со всего его подобия действительный образ. А на том святом образе надпись зделана сицева.

Сей святыи Стефан родися во граде Галиче от отца именем Трофима по реклому Нечаева и от матери Евдокии. Трофим \*с же бе\*т в том граде купец. И егда святыи Стефан доспе возраста, оставль отца и матерь, и жену, и единого от чад своих, юродствоваше многа лета. И преставися в лета от сотворения мира 7175 году, а от рожества Христова 1667 году, мая в 13 день, на память святыи мученицы Гликерии, в понедельник шестыи недели по Пасце (л. 33 об.) и в 14 (так!) час дни. Погребение было мая в 14 день на память святого мученика Исидора, иже во острове Хиосе, и святого Исидора Христа ради юродиваго, ростовскаго чудотворца, в 7-м часу дни. При погребении были галицких монастырей архимандриты: Новоезерского монастыря Авраамиева архимандрит Христофор, Паисейна монастыря архимандрит Сергей, галицкой соборной церкви Спаской протопоп Феофилакт з братиею и всего града Галича священники и диаconi. От мирских чинов -- галицкой воевода Артемей Антонович сын Мусин-Пушкин да галицкой же преждебывшей воевода стольник Кондратей Афанасьев сын Загрязской, дворяне: Давид Неплюев, Иван Ларионов и иные дворяне, и дети боярские,\*у и многа посацкия и уездныя\*ф люди з женами и з детьми. Погребено тело его в Галиче (л. 34) на посаде у церкви Богоявления господня под трапезою на левой стране за печью, идеже он сам себе гроб ископа.

Онныи блаженный Стефан был человек убогий, а на погребение его стеклося множество именитых\*x людей. И пронесенным от стариков слухом\*ц увереносъ (так!), что они во время съезда своего удивлялись божию о святом Стефане откровению, а потому больше, что для погребения его званыи они младым юношем, которого по осведомлению\*ч никто не посылавал, и почли за ангела божия. (л. 35)

3

Государю моему дядюшке, Гаврилу Самсоновичю, о госпде радоватися. Племянник твой Стефанко, припадая ногам твоим, со слезами молю и прошу у твоего благоутробия, матерь мою рождшую почитай. И жену мою такожде почитай вместо меня. Не презри моего убогаго прошения. Аще кто почитает вдов и сирот убогих, во мнозе избыльстве бывает. Аще ли отвращает от них уши свои, во мнозей скудости будет. В ню же меру мерите, возмерится и нам. Почто же немного пишу, веси бо божественное писание. За мене же грешнаго бога моли. Буди же благословен со всем своим благодатным\*ш домом всегда и ныне и присно и во веки веков. Аминь (л. 35 об.)

4

Тем же и вси православии собери, елико от священных и елико от инок, и елико от мирских, аще вникнут в сию епистолию, написанную многогрешнаго рукою, обрящете что неисправно и просто, бога ради простите, а не клените, яко да и сами вы от бога и человек требуете прошения. Понеже забвение и неразумие надо всеми хвалится. Слава совершителю богу. Аминь.

## **Житие царевича Димитрия Угличского<sup>51</sup>**

### **О произведении:**

*Житие царевича Димитрия Угличского», повествующее о трагической гибели в Угличе сына Ивана Грозного царевича Димитрия, известно в 4 редакциях: Четых Миней*

---

<sup>51</sup> Подготовка текста, перевод и комментарии Т. Р. Руди

Германа Тулупова, князя С. И. Шаховского, Четых Миней Иоанна Милютина и Четых Миней Димитрия Ростовского. Первая из редакций была составлена, по-видимому, вскоре после канонизации царевича, в 1606—1607 гг., последняя — в 1703 г.

Публикуемая редакция Жития, вошедшая в майский том Четых Миней Иоанна Милютина, была создана приблизительно в середине XVII в., однако, по мнению исследователей, нет оснований считать Иоанна Милютина ее составителем: текст Жития в подлиннике Милютинской Минеи (ГИМ, Синодальное собр., № 805, л. 1026-1046) менее исправен, чем в некоторых других списках. Основанная на тексте Тулуповской редакции, редакция Миней Милютина включила в себя также сведения из Повести об обретении мощей царевича Димитрия, Нового летописца, Сказания Авраамия Палицына, Иного сказания и, вероятно, Русского хронографа 3-й редакции. В свою очередь Милютинская редакция Жития Димитрия оказала воздействие на другие памятники — «Сказание о царстве государя и великого князя Федора Иоанновича» и редакцию Жития царевича Димитрия, составленную Димитрием Ростовским; существует некоторая связь между Милютинской редакцией Жития и рассказом о царевиче Димитрии в Прологе, изданном в 1643 г.; возможно, эта редакция памятника была известна Григорию Котошихину.

«Житие Димитрия Угличского» в редакции Милютинских Миней состоит из 4 частей: 1) собственно Жития, повествующего об убиении царевича; 2) рассказа о явлении преподобного Димитрия старцу Тихону и об отмщении крови его; 3) описания перенесения мощей нового чудотворца из Углича в Москву; 4) проложного текста Жития (иногда отсутствует в рукописях). В некоторых списках Житие сопровождается чудесами, причем число их варьируется (от 11 до 42).

Оригинальной, новой в сравнении с предшествующими редакциями памятника, является 2-я часть Жития, описывающая явление благоверного царевича «некому от калугерь», старцу Тихону, в которой Димитрий предсказывает приход Самозванца, «проклятого Гриши розстриги», и его гибель. Кроме того, Милютинская редакция впервые упоминает о некоторых подробностях описываемых событий: например, сообщает о заставах, поставленных Борисом Годуновым на дорогах из Углича в Москву; рассказывает о желании Федора Иоанновича самому ехать в Углич для погребения Димитрия, из-за чего Борису якобы пришлось отдать приказ поджечь Москву, чтобы предотвратить нежелательный для него поворот событий.

Интересно, что в трактовке составителя Милютинской редакции Борис Годунов представляется не сугубым злодеем-убийцей: он одновременно и «многосмыслень и разумень зело», после же гибели царевича он «совестию внутрь обличаемъ и аки копиемъ прободаемъ». С явным и подчеркнутым расположением изображаются здесь Василий Шуйский (в отличие, например, от изображения его во «Временнике» Ивана Тимофеева) и патриарх Гермоген, которым приписывается совместная инициатива перенесенная мощей Димитрия из Углича в Москву. По мнению С. В. Лихолата, автором этой редакции Жития Димитрия был ярый сторонник партии Шуйского.

Стилистически Милютинская редакция несколько отстоит от традиций агиографического жанра: по мнению О. А. Державиной, она «мало чем напоминает именно житие. Это скорее историческая повесть, где события излагаются просто и ясно, без всяких риторических украшений, молитв и ссылок на Священное Писание, что было так свойственно житийному стилю». (Державина О. А. Рукописи, содержащие рассказ о смерти царевича Димитрия Угличского // Записки ОР ГБЛ. Вып. 15. М., 1953. С. 90). Одновременно с некоторой утратой агиографического стилистического колорита текст Жития в редакции Миней Милютина содержит некоторые фольклорные элементы (например, сравнения в знаменитом описании плача царицы над телом Димитрия и др.); в целом же текст настоящей редакции Жития отличают стройность, драматизм и убедительность. По мнению С. Ф. Платонова, самостоятельные

*литературные приемы Жития свидетельствуют о привычке его автора к литературному труду.*

*Милютинская редакция «Жития Димитрия Угличского» известна в большом количестве списков. В настоящем издании текст публикуется по рукописному сборнику 80-х гг. XVII в. из личной библиотеки Петра I: РО БАН России, П. I. А. 28 (старый шифр — 17.12.13), л. 22—58 об.; необходимые исправления внесены по списку: РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1558, л. 206 об.—213 об.*

МЕСЯЦА МАЯ В 15-Й ДЕНЬ, НА ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО И БОГОНОСНОГО ОТЦА НАШЕГО ПАХОМИЯ ВЕЛИКОГО. УБИЕНИЕ СВЯТОГО И БЛАГОВЕРНОГО ЦАРЕВИЧА, КНЯЗЯ ДИМИТРИЯ ИОАННОВИЧА, УГЛИЧСКОГО И МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

Этот благоверный царевич, князь Димитрий, родился от благочестивого царя и великого князя Иоанна Васильевича, всея Руси самодержца, что произошел от корня римского кесаря Августа. Когда же царь Иоанн Васильевич, довольно подержав скипетр Российского государства, от жизни сей в жизнь вечную преставился, этот сын его, царевич Димитрий, остался младенцем — от рождения своего полутора лет. И принимает царство после отца своего старший брат его, благоверный царевич Федор Иоаннович, и начинает как подобает царствовать, особенно же Бога бояться и заповеди его исполнять, ибо еще с юности имел он страх Божий в сердце своем, и всегда склонялся от неправого на правое, и ум свой устремлял к Богу, в житейские же заботы мало вникал. Благоверный же царевич Димитрий недолгое время пробыл на своей родине, в царствующем граде Москве, поскольку брат его, царь Федор Иоаннович, даровал ему, <вместе> с родившей его матерью, в удел город, называемый Углич, чтобы он жил там, в своем владении, и совершилось так.

Был же у царя и великого князя Федора Иоанновича близкий ему сторонник и шурин по имени Борис Годунов, очень смысленный и разумный весьма. И царь, видя остроумие ума его и разум, поручил ему всем царством править и обустроить его, сам же пребывал в непрестанных молитвах и в частом пении псалмов. Тот же Борис стал всем владеть и во всем волю свою творить, а благоверный царевич князь Димитрий Иоаннович пребывал во граде Угличе, терпя многие притеснения и обиды от того Бориса. Искони же ненавидящий род человеческий древний змей, Сатана, который никогда никому не делает добра, но всегда сотворяет зло, надоумил того Бориса, чтобы сверх великой сытости насытиться ему величества и славы, и вложил ему в сердце злую мысль и ненависть, чтобы тот царский корень искоренить и самому сесть на престоле царском. И тогда стал он на него <царевича> <зло> замышлять, как Каин на Авеля, и искать случая, как бы его смерти предать, так как был он вдали от царских глаз. И для этого Борис взял к себе в злодейский союз некоего <человека>, именем Михаила Битяговского, и сына его Данилку и племянника его Никитку Качалова и некую женщину по имени Василиса Волохова, живущую всегда подле благоверного царевича князя Димитрия Иоанновича, которая была старшей из его боярынь, и других им подобных, которые сами предпочли стяжать себе огонь негасимый. И много ухищрений замышлял он с ними против незлобивого сего отрока, как бы его тайно смерти предать и отравками отравить, обещая им неизменные многие почести и богатство великое, чтобы они эту злую волю его сотворили, — и хотел таким способом это свое желание окончательно осуществить. Ибо хотел он таким своим ухищрением утаиться от всех людей, но из-за опеки матери и близких его <царевича> друзей и доброжелателей, а более — из-за Божественного хранения не смог он этим своим коварством предать его таковой смерти, ибо в то время не подошел еще конец.

Потом же изгнал он весь страх из сердца своего, повелел тем своим преждеупомянутым злым союзникам безо всякого опасения и страха <все> совершить: проклятые руки свои простереть и, как агнца незлобивого, открыто его ножом заколоть, и повелел на всех путях, которые ведут от града Углича к царствующему граду Москве, стражей надежных поставить и с утрашением великим и с угрозами приказать, чтобы никто не был

пропущен и не известил об этом царя. Те же проклятые выслушали его с радостью, желая эту краткосрочную славу и честь от него получить, и укрепили между собой этот злой союз и, когда настал час, повелели той преждеупомянутой Василисе, чтобы она повелела кормилице его, то есть мамке, свести его из хором вниз, — ибо знали окаянные, что есть у него обыкновение выходить <из дому> на детские игры. И совершили те окаянные <все> по сказанному: как змея со змеей, пошептавшись, сговорились вместе будто на птенца голубиною, хотя тайно его погубить; эти же жестокие кровопийцы готовы были на пролитие той неповинной крови, и набросились на него, как волки безжалостные, и совершили то ужасное дело: посреди двора его один из них взял его за шею и перерезал ему горло.

Мать же его, благочестивая царица Мария, во внутренних своих покоях сидя, ничего того не ведала, только вдруг услышала и увидела то совершенное дело страшное, быстро сбежала вниз и увидела сына своего, как агнца незлобивого, зарезанного и мертвым на земле лежащего, и кровь его льющуюся, и закричала изо всех своих сил, и испустила горький вздох из глубины своего сердца, и забыла стыд и то, что по чину <пристало> женщине, и стала бить себя в грудь и голосить громко и горестные речи выкрикивать. Какие-то <люди> начали бить в колокола, горожане же, мужчины и женщины, вплоть до малых детей, услышав внезапный шум и звон у двора ее, все быстро сбежались на звон тот и вопли ее — и, увидев этого благоверного царевича князя Димитрия зарезанным, тоже все возопили громким голосом из глубины сердца и закричали: «Горе, горе, увы, увы нам, государя своего великого лишившимся!», и, в грудь себя бия, друг другу говорили: «Сегодня лишились мы все надежды нашей!» И были во граде Угличе вопль и плач и рыдание великое.

Те же окаянные губители, что кровопролитие совершили, это нечеловеческое дело жестокое, все разбежались неверными путями: каждый куда-то устремился, — не знали окаянные, куда бежать, ибо ослепила их праведная и неповинная кровь незлобивого агнца, непорочной души, — и были они взяты горожанами и побиты, и так мучительно скверные души свои извергли, ибо и в нынешнем веке приняли они злую смерть, <что же получают они> в будущем веке, то знает праведный Судия, который воздаст каждому по делам его.

Вестники же побежали к боярину Борису с этой страшной вестью и, прибежав, сказали, что желание <его> исполнилось. Он же, услышав это, обрадовался, будто от истинного врага и супостата избавился, однако объял его сердце трепет и страх, и не ведал он, что же будет, ибо совершилось дело злое. И повелел он сказать царю и великому князю Федору Иоанновичу ложно, а не истинно, будто брат его сам себя заколол во время детской игры. И, услышав это, царь стал скорбеть в великой печали об утрате брата своего, а более — о нелепой его смерти, ибо думал, будто вправду так <все> и совершилось, и, вздохнув из глубины своего сердца, пролил из очей своих обильные слезы и речи произнес, исполненные многот жалости. И потом захотел он сам отправиться в путь и идти ко граду Угличу, чтобы увидеть своими глазами тело брата своего и похоронить его достойно, как то подобает. Тот же Борис, боясь людского восстания и царского взгляда, сам себя укорял в своей совести, да не попадетя в свои же сети и не лишится жестоко жизни своей; однако так и не избежал он <того>, не исхитрился никаким своим измышлением, ни многим своим разумом, ни смышленностью, ибо кровь праведника вопиать будет к Богу, как Авелева <кровь> на Каина, пока не придет его час. Так тот <Борис> все то же творил и помышлял во уме своем, ибо терпелив и многомилостив Бог ко всем согрешающим: часто и зло попускает, и не дает отмщения, всегда ожидая исправления и покаяния или поминая некое дело благое, как глаголет великий Феодорит: «Терпит же и злого человека Человеколюбец Бог, поминая его благодеяния». Когда же сошел на него гнев, посланный Богом за кровь праведника, тогда ничего не успел он, так и лишился с позором жизни своей, и род его весь сгинул и искоренился, как впоследствии об этом будет сказано. Мы же продолжим теперь нашу повесть.

И увидев царя, пребывающего в великой скорби и печали о брате своем и хотящего идти ко граду Угличу, — а случилось тогда царю и великому князю Федору Иоанновичу быть в <церкви> Святой и Живоначальной Троицы в обители преподобного Сергия Чудотворца по случаю празднования Пятидесятницы, — тот Борис замыслил иную крамолу и беду великую, чтобы отвести от царя эту мысль, чтобы не пойти ему ко граду Угличу и не погрести тело брата своего: и повелел он в царствующем граде Москве многие дворы поджечь, чтобы повернуть царя и всех людей на иную мысль. Царь же, услышав о том, что сгорели дома, опечалился очень и недоумевал, куда же ему идти. Он же, видя царя в сомнении, стал так увещевать его разными лживыми словами и коварным советом, что, мол, никакой помощи и избавления душе брата его не будет, если он сам пойдет <туда>, но будет только ему самому еще больше сетования и скорби, когда увидит брата своего, такой <смертью> умершего. И еще сказал ему, что еще большее разорение и погибель будет самому царствующему граду Москве, если он не вернется в нее, и советовал царю, чтобы без него погребен был брат его, благоверный царевич князь Димитрий.

Царь же был благоговеен и благоутробен и беззловив до конца, ибо написано: «Беззловивая душа всякому слову верит», — так и этот государь на того Бориса очень положился и во всем его слушал, и во всем веру к нему имел. И сделал царь все так, послушал слов его: посылает он от своего лица некоего своего верного боярина, именем князя Василия Ивановича Шуйского, для того, чтобы узнать всю правду, и повелел тому Борису выбрать и других из бояр и из священнического чина, чтобы посланы были они в Углич погрести брата его. Борис же избирает своего единомышленника, именем Андрея Клешнина, и иных ему подобных и угодных ему, и многих от священнического чина, и также обещает им честь и богатства много, и наказывает им сказать царю и всем людям так, как это ему угодно. Они же, слыша от него те слова его, — одни прельщаются, другие же из-за страха обещают ему все так совершить, как им было сказано. И закрепляет он с ними крепкими клятвами тот договор, чтобы все непреложно совершить по сказанному, — и приводит их к царю. Царь же посылает их, чтобы пошли они и достоверно разузнали о смерти брата его, — как и каким образом эта смерть случилась, — и чтобы погребли <его> достойно, как подобает царскому чину. Сам же царь пошел к царствующему граду Москве. Тот же Борис, будучи очень коварен и зная, что совесть его <нечиста>, увидев тех людей, у которых сгорели дома и много имущества, в скорби и великой печали пребывающих, повелел давать им серебра вдесятеро больше того их ущерба и разорения, чтобы не было у них скорби и печали великой о своих домах и о своем имуществе, чтобы не было снова мятежа и ропота в городе и чтобы отвести от них всякую мысль о царевиче Димитрии. Затем преждеупомянутые бояре, князь Василий Иванович Шуйский и единомышленник Борисов Андрей Клешнин и другие, посланные с ними, пришли в Углич и увидели тело того нового <страстотерпца, принявшего> венец <мученический>, царевича Димитрия таким, как я и прежде сказал, — закланым, как агнец; мать же его над ним стояла, как горлица, убиваясь и горько от скорбной своей утробы вздыхая, плача о вдовстве своем и о бездетности своей, будто реку слез из очей испуская, не имея в тот час себе помощника и заступника, на единого только Бога взирая и всю надежду на него возлагая; и весь народ града Углича так же стенал и рыдал.

Тот же Андрей, притворно бранясь, начал спрашивать угличан, как был заколот благоверный царевич князь Димитрий, — <притворно>, поскольку всю тайну того Бориса знал, ибо вместе с ним был убийцей. Горожане же сказали всю правду. Благоверный же боярин князь Василий Шуйский стоял молча, боясь Бориса, и только слезы проливал, видя тело благоверного царевича князя Димитрия, вспоминая про себя благодеяние и милосердие отца его царя Иоанна; и все люди также стенали и рыдали в сердце своем, но не смели ничего сотворить этому Андрею из-за страха перед Борисом. И после того был погребен благоверный царевич князь Димитрий там, в своем городе Угличе, в храме боголепного Преображения Господа нашего Иисуса Христа.

Все же эти <люди>, посланные от царя, придя в царствующий град Москву, сказали царю так, как угодно было Борису, и царь еще многие дни пребывал в печали, очень скорбя о брате своем; жители же города того Углича также много дней плакали и сетовали. Заклан же был незлобивый агнец благоверный царевич князь Димитрий Иоаннович в лето семь тысяч девяносто девятого (1591) года, мая в 15-й день, на память преподобного и богоносного отца нашего Пахомия Великого, а от рождения своего в 9-е лето; и так тою жестокою и незаконною смертью скончался, вернее же взошел ко Христу, радуясь, и принял с мучениками радование и с ангелами ликование.

О явлении благоверного царевича князя Димитрия Иоанновича Угличского и Московского старцу Тихону и об отмщении крови его

Но тому Борису для насыщения не было довольно даже такого дела — убить неповинного сего незлобивого отрока, благоверного царевича князя Димитрия, — и, получив <исполнение> своего желания, повелел он и мать его, благоверную царицу Марию, насильно и с великим бесчестием в иноческий образ облечь, и была она наречена во инокинях Марфа. И повелел он заточить ее в место бедное и горестное, едва достижимое для людей, — где-то в Белозерских пределах небольшой монастырь, называемый Николы Чудотворца на Выксе, — и приставил к ней жестоких и немилостивых стражей и надзирателей, и повелел стеречь ее в строжайшем заточении, и повелел, чтобы ни в коем случае не было ни входа, ни выхода от нее никому кроме тех злых надзирателей его, и пищу ей повелел давать в строго ограниченном количестве, как осужденной, и иные многие обиды и оскорбления наносил, о которых и написать нельзя. И пробыла она в таком заточении и притеснении пятнадцать лет и более, до тех пор, пока и сам тот Борис не сгинул. А ему еще и того недовольно было: сам на себя в третий раз воздвиг гнев Божий и, с гневом борясь, душу свою погубляя и сердцем своим жестоко разъярясь, повелел у многих лучших жителей Углича, которые были поборниками благоверного царевича князя Димитрия, взять дома их и имущество, а самих их с женами и с чадами их разослать в дальние города. И был в граде Угличе второй плач и рыдание великое — каждый видел свое разлучение с родными и близкими и лишение имущества.

И в лето семьтысяч сто шестое (1598), января в седьмой день, в восьмое лето по убиении благоверного царевича князя Димитрия Иоанновича, случилось Божиими судьбами, которые лишь Ему самому ведомы, благоверному царю и великому князю всея России Федору Иоанновичу от земного царствия к Небесному переселиться, — и приемлет престол Российского государства тот преждеупомянутый Борис Годунов, убийца царевича князя Димитрия Иоанновича. И начал он царствовать и все земные дела хорошо и разумно устраивать, одно только неподобающее дело совершая: начал он многих неповинных кровь проливать, а иных в заточение отсылать. И царствовал он шесть лет и полгода, — не вершил суд, сказать <воистину>, не царствовал, но постоянно в болезни пребывал, как Каин после убийства брата, будучи совестью изнутри обличаем и словно копьем пронзаем. Ибо слышал он, что от нового сего Богом возлюбленного, <мученический> венец <принявшего страдальца> благоверного царевича князя Димитрия начали знамения и чудеса бывать, и таил он их в сердце своем, словно светильник скрывал в некоем здании и под спудом его ставил, не вспомнив слова Господни о том, что «не может град укрыться, на верху горы стоя», а всем сообщавшим <о чудесах> запретил это <под страхом> смерти, чтобы не стало известно о знамениях и чудесах его. И не захотел он покаяния перед ним принести, ни прощения от него получить, и был он впоследствии за такую гордость жестоко гневом Божиим покаран, и весь род его также погибает и искореняется, — как и каким же образом, расскажем вкратце.

Захотел Бог распространить на небесах и на земле весть об убиении неповинного создания своего и кровь его отомстить, а всем творящим подобное знак подать, чтобы наставились они такового не совершать.

В одиннадцатое лето по убиении своем явился благоверный царевич князь Димитрий некоему из почтенных старцев, живущих там, в городе Угличе, по имени Тихон, и сказал

ему так: «Некто назовется у вас именем моим царским, сыном отца моего, благоверного царя и великого князя всея России Иоанна Васильевича, и сядет на престоле царском Российского государства, и того властолюбца и губителя моего Бориса с престола свергнет и царства лишит, и весь род его погубит; и сам тот ложно назвавшийся <именем моим> недолго будет царствовать, но жестоко жизни своей лишится и убиен будет; и иные же последуют ему и так же позорно закончат <путь свой>». И впоследствии все это сбылось по словам богоизбранного сего венценосца.

Было же это из-за грехов наших и всяческих неправд по отношению к Богу, за что он и наказал нас, чтобы исполняли заповеди его и отвратились от всех грехов своих, и допустил <пришествие> на нас за беззаконие наше как бы нового Юлиана Отступника или, вернее сказать, <попустил это> для отмщения неповинной сей крови праведника. Ибо был некто из града Галича, из обычного рода, зовомый Юшка Отрепьев, — облекся он во иноческий образ и был наречен Григорием, и был поставлен во диаконский чин, но затем, по действию диавольскому, забыл обет иноческий и сложил с себя иноческий образ, и, пойдя в Литву, назвался там сыном благоверного царя и великого князя всея России Иоанна Васильевича, преждедеченным царевичем князем Димитрием, которого, как доподлинно <известно>, убил тот преждедеченный Борис, — и всем это ведомо и известно. И измыслил хитро и очень коварно тот расстрига, будто был он избавлен и спасен от того раба своего Бориса и будто бы бежал из своего отечества, из Русской земли. Король же литовский и многие вельможи его поверили в его ложь и думали, что он — истинный царский сын князь Димитрий, и воздали ему честь великую, как и подобает, а затем — золота и серебра <дали> немало, чтобы собрал он людей многих и пошел ратью на свое отечество, к царствующему граду Москве, и отомстил как своему врагу и губителю преждепоминаемому Борису; и совершилось так.

И сначала пришел он к пределам Русской земли с северной стороны, к городу Чернигову, и там обманул весь город, и села, и деревни, и все поверили ему и покорились. И когда был он еще далеко от царствующего града Москвы, услышал Борис о таком смятении и прельщении от него в тех городах и о потрясениях во всей Русской земле, и ужаснулся очень в сердце своем, и впал во уме своем в скорбь и печаль великую, видя, что царство его у него будет отнято, — и из-за такой своей беды вскоре лишается он жизни своей, и внезапно душу свою испускает, и так уходит из жизни сей.

Тот же окаянный расстрига, услышав, что Борис умер, обрадовался весьма злохитрою своей душою и злоумышленным своим сердцем, что желание его наконец может сбыться. Воеводы же и воины все, что были посланы против него от царя Бориса, услышав о Борисовой смерти, и, считая его царским сыном, а еще рассудив про себя, что Борис сам себя лишил жизни из-за страха и стыда, все сдались ему в плен и покорились. Он же, окаянный, как невзнузданный конь, дерзко устремился к самому царствующему граду Москве, и никто ему не воспрепятствовал. И когда еще не дошел он до града Москвы, послал перед собой своих сторонников и повелел втайне Борисова сына и жену его позорной и жестокой смерти предать, — веревкой удавить, чтобы не случилась с ним какая-нибудь остановка и не стала укорять его совесть, если оставит их в живых. И так пришел он к царствующему граду Москве, и так же все, упав <на колени>, поклонились ему как истинному цареву сыну Димитрию. Многие же знали его, что не царский он сын, а сосуд диавольский Гришка Отрепьев, но не смели ничего ему сотворить, так как были перед глазами их страх и смерть. И взял он скипетр великого государства, и сел на престоле царском, и мать благоверного царевича князя Димитрия, благоверную царицу инокиню Марфу, назвал своей матерью, будто она — настоящая его мать. И того Бориса повелел он от остальных царей, с которыми тот был положен в соборной церкви Архистратига Михаила, вон извергнуть; и был он вынесен с последним бесчестием и поношением и положен в одном из убогих монастырей, нарицаемом Варсонофиев, в том же царствующем граде Москве. Дочь же его, знатную и красивую весьма, повелел во иноческий образ облечь, а весь род и племя его рассеять: одних повелел смерти предать,

других же в заточение отослать, а дома и богатство их повелел отдать на расхищение и раздать, кому что захочется. И сбылось сказанное: «Ров вырыл, и выкопал его, и упал в яму, которую сам сотворил»; и «обратилась болезнь его на главу его, и на главу его неправда его сошла».

И после этого начал царствовать окаянный расстрига и много крови пролил напрасно за свое ложное именование. Еще же сочетался он беззаконным браком: привел себе жену от католической веры; ибо, когда был он еще там в Литве, дал обет сатанинский отцу ее и ей, что возьмет ее за себя <замуж>, когда будет на престоле царском Российского государства, и за то взял у них окаянный много золота и серебра, чтобы собрать тех воинов. И так привел ее, и не крестил ее святым крещением, и так венчался с нею, и саму ту великую соборную и апостольскую Церковь осквернил недостойным входом своим и венчанием.

И после того начал помышлять окаянный последнее зло на православную христианскую веру, чтобы великое множество — от вельмож и до простых людей — погубить и веру христианскую вконец искоренить и свою богомерзкую католическую веру учинить. Всемилостивый же Господь и Бог наш не до конца отнял милость свою и не прогневался вовеки, не позволил ему совершить это злое дело до конца — и прекратил вскоре жизнь того окаянного, ибо был он узан и обличен всеми, что не царев он сын, но сосуд диавольский и сын сатанинский, чернец-расстрига Гришка Отрепьев. И так был убит он, нечестивый, и сожжен огнем, который сам себе уготовил. Царствовал же он неполный год, как и сказал новый святой мученик благоверный царевич князь Димитрий в своем явлении преждедеченному старцу Тихону. Богу нашему слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О перенесении мощей благоверного царевича князя Димитрия из града Углича в царствующий град Москву

Вскоре же после того преждеупомянутого проклятого Гришки-расстриги был избран на царство от всего христианского народа и наречен царем благочестивый боярин, князь Василий Иванович Шуйский, который много пострадал от тех растленных царей, а вернее сказать, антихристовых детей, ибо многие начали называться тем царским именем и нанесли великий и безмерный урон всему великому Российскому государству, сами же, окаянные, плохо окончили <путь свой>, как мы уже прежде сказали; он же как столп непоколебим стоял, словно пращей коварных волков от Христова стада, от православной веры <их> отогнал; был с ним тогда и святейший патриарх Московский и всея Руси Гермоген, держал он тогда престол над всей Россией и так же с великой ревностью подвизался за православную веру, и был поборником Святого Духа, и единою душой с ним стоял.

И вложил им Бог в сердца благой совет: взять из града Углича мощи нового сего страстотерпца, благоверного царевича князя Димитрия Иоанновича, и принести в царствующий град Москву — во славу и хвалу отечеству его и на укрепление граду Москве от нашествия иноплеменников, и на обличение многочисленных лжехристов; и свершилось так. По повелению и решению их был послан преосвященный Филарет, митрополит Ростовский и Ярославский, который впоследствии благодатию Святого Духа стал и самим патриархом всей России, и с ним бояре, и архиепископы, и епископы, и многие от священнического чина. И когда пришли они в город Углич и вошли в церковь, где лежит тело этого нового страдальца, и открыли гроб его, — и в тот же час стало исходить от него благоухание, как от священных ароматов. И обрели мощи его целыми и нетленными, словно сегодня положенными, только малая часть взята была от пальца руки его, ибо свойственно земле взять свое родное; также и одежды его все целы и нетленны, а сорочка его, словно виссом, кровью обагрена, в которой он был убит и положен. И в тот же час начали великие чудеса совершаться и многие <болящие> различными недугами исцелялись, как рассказывают.

И так взяли мощи его со мною честию и благоговением и пошли к царствующему граду Москве. И когда были принесены мощи его к самому царствующему граду Москве, тогда

услышал <об этом> благочестивый царь Василий и обрадовался великой радостью, что в его правление прославил Бог угодника своего, и вышел на встречу его со всем своим царским синклитом, и святейший патриарх Гермоген со всем освященным собором, и с матерью его, благоверной царицей инокиней Марфой, и со множеством народа, и с честными иконами, и со свечами и лампадами, и встретили его со мноюю честью и приняли с радостью. И повелели царь и патриарх нести <его> внутрь самого града Москвы, в соборную церковь воеводы Небесных сил Архистратига Михаила, которую можно видеть и ныне близ царского двора; и повелел царь в том же храме Архистратига Михаила приготовить и украсить ковчег; когда же патриарх отслужил над мощами праведника все положенные <службы>, повелел царь вложить мощи святого в ковчег и покрыть их царскими багряницами, а вокруг свечи и лампы поставить.

И когда были принесены честные мощи, тогда в те дни снова многие чудеса совершились, и многие от различных недугов исцелились, — так что многие были тому свидетелями. И еще повелел царь устроить празднество светлое и сложить торжественное песнопение во славу и хвалу дающему благодать Богу и на память сему новому праведному венценосцу, благоверному царевичу князю Димитрию. Принесены же были мощи его из града Углича в царствующий град Москву в лето 7114-е (1606) июня в 3-й день, на память святого мученика Лукиана, а по убиении его в 15-е лето.

А это по-проложному. В тот же день. Убиение благоверного царевича князя Димитрия, Угличского и Московского и всея России нового чудотворца

Сей благоверный царевич, князь Димитрий Иоаннович, родился от благочестивого корня, царя и великого князя всея Руси Иоанна Васильевича. И когда царь Иоанн Васильевич, подержав долгие годы скипетр Российского государства, от сего жития в жизнь вечную преставился, этот сын его, царевич князь Димитрий, остался младенцем, от рождения своего полутора лет; и по действию диавольскому, повелением некоего <человека> из их царского синклита, по имени Борис Годунов, был он из-за властолюбия и зависти убит в удельном своем городе Угличе в лето 7099-е <1591>, мая в 15-й день, на память преподобного отца нашего Пахомия Великого, а от рождения своего в 9-е лето, — был заколот ножом и погребен в том же удельном своем городе Угличе, во храме боголепного Преображения Господа нашего Иисуса Христа. И так такую жестокой неподобающей смертью скончался и взошел ко Христу, радуясь, приняв с мучениками радование и с ангелами ликование. И в 15-е лето по убиении его повелением и советом благочестивого царя и великого князя Василия и кир патриарха Гермогена были принесены мощи его от града Углича в царствующий град Москву, целы и нетленны, в лето 7114-е (1606), июня в 3-й день, на память святого мученика Лукиана, и были положены в соборной церкви Архистратига Михаила, которую и ныне можно видеть близ царского двора. И когда мощи были принесены, тогда в те дни многие от различных недугов исцелились о Христе Иисусе, Господе нашем, которому слава со Отцом и со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Лета 7114 (1606)-го, июня в 3-й день

Принесены в Москву из Углича мощи святого благоверного царевича Димитрия. И поставили мощи его в церкви Архистратига Божия и служителя Архангела Михаила на малой скамье, посреди церкви, и патриарх Гермоген начал служить заупокойную службу, и отслужили ее, и выкопали могилу там, где был положен царь Борис, в приделе Иоанна Лествичника. И в это время по государеву повелению начали резать гроб каменный, чтобы положить мощи святого благоверного царевича Димитрия, и сделали гроб каменный, и понесли в церковь, и тот гроб оказался короток. И царь Василий и патриарх Гермоген стали о том скорбеть и поносить подмастерия Василия, то есть стали бранить его, и повелели высечь второй гроб каменный по той мере, что была снята с благоверного царевича Димитрия, — и тот каменный гроб оказался слишком длинным, и царь Василий и патриарх Гермоген опечалились очень и сняли меру с царевича Димитрия, измерив сами. И благословил патриарх Гермоген своею рукою — и тот третий гроб стал

четырёхугольным, а могила, что выкопали благоверному царевичу Димитрию, чтобы погresti мощи его, в это время сама собою засыпалась. И, увидев это чудо великое, царь Василий и патриарх Гермоген предались плачу великому, и стали служить молебен, и поставили гроб с мощами святого благоверного царевича Димитрия в церкви Архангела Михаила у правого столпа; и совершились великие чудеса.

Чудо 1. В тот же месяц, на следующее утро, в 4-й день, стали служить Божественную литургию, и помолилась слепая женщина по имени Агафья, была она одержима слепотою 20 лет, — и молитвами святого благоверного царевича Димитрия прозрела в тот же час, и стала здорова. И возвестили об этом чуде царю Василию, и царь Василий сверх того сам расспросил ту женщину, и поведала та женщина правду, что прозрела она молитвами святого благоверного царевича Димитрия.

Чудо 2. Дьякон по имени Григорий поведал предстоящим гробу святого, которые приставлены ко гробу царевича Димитрия, и протопопу, и всему Архангельскому собору: болела у него нога полгода, и судорогой ее свело; и услышал он, что святой благоверный царевич Димитрий подает исцеления приходящим к нему с верою, — пришел ко гробу его и начал молиться, чтобы Божией милостию и молитвами святого благоверного царевича Димитрия исцелела у него нога, — и в тот же час молитвами святого благоверного царевича Димитрия нога его исцелилась.

Чудо 3. Человек некий по имени Аверкий, по прозвищу Богдан, поведал об исцелении от святого благоверного царевича Димитрия: болели у него, Аверкия, 15 лет глаза, совсем не видел света <белого>, и пришел он помолиться в церковь Архангела Михаила, и из-за множества народа и тесноты не смог он подойти ко гробу святого и встал вдалеке от гроба, молясь Богу и призывая на помощь благоверного царевича Димитрия, — и в тот же час прозрел и прославил Бога и святого благоверного царевича Димитрия.

Чудо 4. Монахиня некая по имени Аполлинария была одержима страшною болезнью: покрылись ноги ее ужасными гнойными язвами, — и услышала она, что благоверный царевич Димитрий подает исцеления, и в котором часу помолилась, прийдя ко гробу царевича Димитрия, в том же часу и исцелилась.

Чудо 5. Человек некий, — назвался родом из Красного села, по имени Григорий Власов, — был одержим страшным недугом, бесновался; и привели его родные ко гробу святого благоверного царевича Димитрия, и простоял тот человек у гроба святого царевича Димитрия ночь и следующий день до вечерни, неистовствуя и выкрикивая дурные скверные слова. После же вечерни Божией милостию и молитвами святого благоверного царевича Димитрия стал он здоров и молился в полном разуме, и рассказал, что молитвами святого царевича Димитрия он совершенно исцелился.

Чудо 6. Некая женщина, — назвала имя свое, Акулина, жена Леонтия Пенкина, а жила в Пушкарской <слободе>, — и рассказала о себе, что болели у нее долгое время глаза, и стала она слепа. И привели ее ко гробу святого царевича Димитрия, — и в тот же час молитвами святого благоверного царевича Димитрия она прозрела и исцелилась от всех болезней.

Чудо 7. Некая женщина, — назвала имя свое, Мария, — была она долгое время слепа на один глаз, и привели ее ко гробу святого благоверного царевича Димитрия, — и в тот же час молитвами святого благоверного царевича Димитрия она совершенно выздоровела.

Чудо 8. Некая девица, — назвала имя свое, Анна, а жила она на Покровке, у горшечника, — и поведала она о себе: было у нее на правом глазу бельмо, и слышала она от странствующих людей, приходящих с верою, что получают они исцеления от различных болезней молитвами святого благоверного царевича Димитрия. И пришла и та девица помолиться ко гробу святого царевича Димитрия, — и в тот же час бельмо у нее с глаза сошло, и стала она здорова.

Чудо 9. Некая женщина, — назвала имя свое, Антонида, родом из Галицкого уезда, — рассказала, что болели у нее внутренности 20 лет, и раздала она врачам все свое имущество, но все же не получила никакой пользы. И услышала она, что по молитвам

святого царевича Димитрия приходящие получают от его мощей исцеление от различных болезней, — и пришла к нему, и помолилась, — и в тот же час стала здорова.

Чудо 10. Некая инокия, — назвала имя свое, Маремьяна Извекова, из Зачатьевского монастыря, — рассказала о себе: болели у нее глаза 2 года, и пришла она помолиться к царевичеву гробу, — и в тот же час прозрела молитвами святого благоверного царевича Димитрия.

Чудо 11. Некая женщина, — назвала имя свое, Феодосия, — болели у нее глаза 15 лет, и в голове у нее была сильная ломота. И как только пришла она ко гробу святого благоверного царевича Димитрия и вытерла глаза и голову покровом с мощей святого царевича Димитрия, — и в тот же час исцелилась молитвами его.

Чудо 12. Некая женщина, — назвала имя свое, Фекла, — была она долгое время слепа и, придя помолиться ко гробу святого царевича Димитрия, приложила к мощам его, — и в тот же час прозрел у нее один глаз молитвами святого благоверного царевича Димитрия.

Чудо 13. Некая девица, — назвала имя свое, Мавра, — была она слепа полтора года, и привели ее ко гробу святого благоверного царевича Димитрия, — и в тот же час прозрела она молитвами его.

Чудо 14. Некий человек, — поведал имя свое, Симеон Стефанов, сторож Вознесенского монастыря, — был он одержим страшною болезнью: лежал, парализованный, полгода. И пришло ему на ум: попасть бы ко гробу святого царевича Димитрия, — и пошел он с большим трудом, и претерпел тесноту от множества народа, и топтание ногами с благодарностью воспринял. И заночевал он у гроба святого царевича Димитрия, и уснул немного, — и увидел во сне явление: пришел к нему юный отрок в светлой одежде и повелел ему грозно: «Встань, что сидишь!», — и пробудился он ото сна, и ужаснулся очень, и объял его страх. И с того часа почувствовал он в себе силу, а болезнь забыл. И, встав, пришел ко гробу святого царевича Димитрия и был совершенно здоров молитвами его.

Чудо 15. Некая женщина, — назвала имя свое, Евдокия, — болели у нее глаза 4 года и 10 недель, и привели ее ко гробу святого царевича Димитрия, — и прозрела она молитвами его.

Чудо 16. Некая женщина, вдова, — поведала имя свое, Мавра, а жила она у Новоспасского монастыря, в слободе, что на Крутицах, — не видела она света <белого> из-за ослепления и очень скорбела, думала, что и умрет от той болезни. И привели ее ко гробу святого царевича Димитрия, — и молитвами его прозрела она в тот же час, благодаря Бога и святого благоверного царевича Димитрия.

Чудо 17. Некая женщина поведала о чуде святого царевича Димитрия: не видела она одним глазом 20 лет, и привели ее ко гробу святого царевича Димитрия <сказала только, что она — жена Ивана Мясоедова, а имени своего не сказала>, — и в который час привели ее ко гробу святого, в тот же час и прозрела она молитвами его, и благодарила Бога и святого царевича Димитрия, и была здорова.

Чудо 18. Некая девица, — назвала имя свое, Анна, и сказала, что живет в Москве, у священника Георгиевской церкви Василия, — на 4-м году жизни заболела у нее нога, и долгое время страдала она от этого. И привели ее ко гробу святого царевича Димитрия, — и в тот же час она исцелилась и выздоровела от той болезни молитвами святого благоверного царевича Димитрия.

Чудо 19. Некая женщина, — назвала имя свое, Ирина, — была слепа 7 лет и прозрела молитвами благоверного царевича Димитрия у гроба его.

Чудо 20. Некая женщина, — назвала имя свое, Мавра, — была она глуха долгое время, и помолилась ко Господу Богу и святому благоверному царевичу Димитрию у гроба его, — и в тот же час получила исцеление, и начала слышать по-прежнему.

Чудо 21. Некая женщина, — назвала имя свое, Агафия, и рассказала о себе: была она слепа долгое время, и пришла ко гробу святого царевича Димитрия, и помолилась, — и в тот же час исцелилась молитвами его, прозрела совершенно.

Чудо 22. Некая женщина, — поведала имя свое, Марфа, жена Василия Белугина, — не видела она из-за слепоты 15 лет, — и у гроба святого царевича Димитрия прозрела молитвами его.

Чудо 23. Некая девица, — назвала имя свое, Евфимия, и рассказала о себе, что была она слепа 2 года, — и у гроба святого царевича Димитрия прозрела молитвами его.

Чудо 24. Некий человек, именем Онуфрий, рассказал, что он 10 лет бесновался и жестоко пострадал от той болезни, и помолился у гроба святого царевича Димитрия, — и исцелился молитвами его.

Чудо 25. Некая девица, — назвала имя свое, Анна, а о житье своем рассказала: живет на Кулижках у посадского человека Иакова; не видела она долгое время, и помолилась Господу Богу, предстоя у гроба святого царевича Димитрия, и помолилась святому царевичу Димитрию, — и в тот же час прозрела молитвами его.

Чудо 26. Некий отрок, — назвал имя свое, Симеон, Дмитриев сын, — не видел он левым глазом, — и у гроба святого царевича Димитрия прозрел молитвами его.

Чудо 27. Некая инокиня, — назвала имя свое, Ульяния, а жила она в Зачатьевском монастыре, не видела она 10 лет, — и у гроба святого царевича Димитрия прозрела молитвами его и <стала> видеть совершенно.

Чудо 28. Некая женщина, — назвала имя свое, Ирина, а о житье своем сказала — у дома Тимофея Витовта, — болела у нее левая нога 2 года, — и от гроба святого царевича Димитрия она и исцеление получила, и стала здорова.

Чудо 29. Некая женщина, — назвала имя свое, Евдокия, а муж ее именем Исидор, — болели у нее глаза 2 года, и явилась она ко гробу святого царевича Димитрия, — и исцелилась молитвами его.

Чудо 30. Поведал о чуде святого царевича Димитрия отрок по имени Иоанн, будучи приведен ко гробу святого своей матерью, а мать его по имени Агафья. Тот отрок Иоанн в возрасте 10 лет пострадал от болезни ног, а болела у него левая нога, и ходил он на деревянной ноге, и изнемог очень, и звали его люди расслабленным. И принесли его ко гробу святого царевича Димитрия, — и молитвами его он исцелился, и нога его стала крепкой, как и другая.

Чудо 31. Некая инокиня, — назвала имя свое, Александра, а о житье своем сказала, что живет в Зачатьевском монастыре, — болел у нее глаз 2 года, и пришла она ко гробу святого царевича Димитрия, и помолилась, — и исцелился глаз ее молитвами его и стал таким же, как и здоровый.

Чудо 32. Некая женщина, — назвала имя свое, Ирина, из Юрьево-Польского уезда, — не видела она правым глазом 7 лет, — и у гроба святого царевича Димитрия прозрела.

Чудо 33. Некая женщина, — назвала имя свое, Мария, — не видела она света <белого> 5 лет, — и в который час пришла ко гробу святого царевича Димитрия, в тот же час и прозрела молитвами его.

Чудо 34. Некий человек, родом арап, — назвал имя свое, данное ему во крещении, Матвей; была у него на руке 3 года страшная язва, волосатик, и пришел он помолиться ко гробу святого царевича Димитрия, — и в тот же час исцелилась у него <язва> молитвами святого, и стал он здоров.

Чудо 35. Некая женщина, вдова, — назвала имя свое, Киликия, родом из Новгорода; так как была она одержима недугом беснования, пришла она помолиться, — и исцелилась молитвами святого благоверного царевича Димитрия у гроба его.

Чудо 36. Некого человека по имени Иоанн привели, слепого, ко гробу святого царевича Димитрия, а был он одержим слепотою 3 года, — и прозрел он молитвами святого благоверного царевича Димитрия, и стал здоров.

Чудо 37. Некая девица, — назвала имя свое, Ксения, — напал на нее великий страх и ужас по наущению дьявольскому, и держал ее этот страх от Светлой недели и немалое время. И пришла она помолиться ко гробу святого царевича Димитрия, — и молитвами его отошел от нее страх.

Чудо 38. Некая женщина, — назвала имя свое, Анна, сказала, что живет на Никитской улице, а муж ее — по имени Василий; была она слепа долгое время, — и прозрела у гроба святого царевича Дмитрия молитвами его.

Чудо 39. Некая вдова, — назвала имя свое, Ксения, а живет, сказала, за Москвою-рекой, — и болели у нее 6 лет внутренности, да год болела у нее нога; и привели ее ко гробу святого царевича Дмитрия, — и исцелилась она в тот же час молитвами его от обеих болезней.

Чудо 40. Некая женщина, — назвала имя свое, Евфимия, — болела она болезнью внутренностей 8 лет, — и исцелилась у гроба святого царевича Дмитрия молитвами его.

Чудо 41. Некая женщина, — назвала имя свое, Мария, — болели у нее глаза 30 лет; и привели ее ко гробу святого царевича Дмитрия, — и прозрела она в тот же час молитвами его; а в это время служили панихиду по государю царю и великому князю всея Руси Феодору Иоанновичу, а панихиду слушали царь Василий и весь освященный собор.

Чудо 42. Некая женщина, вдова, — назвала имя свое, Анна, а живет, сказала, в Старицком уезде; не видела она левым глазом долгое время, а у гроба святого царевича Дмитрия прозрела молитвами его и исцеление получила о Христе Иисусе, Господе нашем, которому слава со Отцем и со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

## Новая повесть о преславном Российском царстве<sup>52</sup>

### О произведении:

*«Новая повесть о преславном Российском царстве и великом государстве Московском» — агитационное патриотическое произведение, оформленное как грамота-воззвание, отклик писателя-патриота на события русской истории за декабрь 1610 — февраль 1611 г. Автор призывает современников к вооруженному сопротивлению против иностранных интервентов и предателей из правительства национальной измены — «Семибоярщины». «Новая повесть» появилась на волне начавшего формироваться в январе—марте 1611 г. первого народного ополчения, в канун стихийно вспыхнувшего в Москве восстания 19 марта 1611 г. (но не ранее начала февраля 1611 г.).*

*«Новая повесть» создавалась на фоне широко распространенных в стране агитационных патриотических грамот (обращенных ко всем сословиям населения), которыми обменивались между собой русские города и в распространении которых с января 1611 г. принимал участие П. П. Ляпунов, возглавивший первое народное ополчение (в состав которого, после разгрома Лжедмитрия II — Тушинского Вора), влились и казацкие «таборы» под предводительством Д. Т. Трубецкого и И. М. Заруцкого). Однако восстание 19 марта 1611 г. было подавлено, так как отряды П. П. Ляпунова, двинувшиеся 3 марта 1611 г. с «нарядом» и «гуляй-городом» из Коломны к Москве, не успели к его началу.*

*В «Новой повести» передано настроение поднимавшихся на освободительную борьбу патриотических сил столицы. Оценка событий связана с отношением автора к августовскому договору*

*1610 г., заключенному московским боярским правительством, «Семибоярщиной», пришедшей к власти после свержения с престола царя Василия Шуйского (17 июля 1610 г.). По этому договору Сигизмунд III должен был снять осаду Смоленска и дать королевича Владислава на царский престол (при условии принятия им православия). Для подписания текста договора в лагерь Сигизмунда под Смоленск было направлено «Великое посольство» во главе с князем В. В. Голицыным и митрополитом Филаретом, которое сразу же по прибытии фактически оказалось в плену у польского короля.*

*В ночь на 2 сентября 1610 г. правительство «Семибоярщины» под угрозой новой вспышки крестьянской войны «за царевича Дмитрия» (отряды Лжедмитрия II стояли вблизи от Москвы, в Калуге) впустило в столицу стоявший под стенами города гарнизон гетмана С. Жолкевского и привело соотечественников к присяге королевичу Владиславу. Между*

<sup>52</sup> Подготовка текста, перевод и комментарии Н. Ф. Дробленковой

тем в нарушение договорных условий уже 19 августа 1610 г. Сигизмунд направил в Москву первое тайное указание о приведении жителей Московского государства к новой присяге самому королю.

После оккупации Москвы жизнь столицы оказалась полностью во власти королевских наместников, начальников польского гарнизона. В конце января — начале февраля 1611 г. (при гетмане А. Гонсевском) начались постепенное выведение из города русских ратников и стягивание в Москву польских отрядов, участились случаи бесчинств оккупационных солдат, надругательств над святынями, притеснение московских жителей (вплоть до закрытия Кремлевских ворот) и проч. Обо всем этом и пишет автор «Новой повести». Гневно осуждая путь национального предательства, на который вступило московское боярское правительство (когда «земледержцы»-«правители» превратились в «землесьедецов» и «кривителей»), и раскрывая подлинную суть политического обмана польского короля Сигизмунда, автор призывает соотечественников к вооруженному сопротивлению иноземным оккупантам и предателям отечества из правительства.

Название «Новая повесть...» дано произведению одним из поздних переписчиков в 30—40-х гг. XVII в., который воспринимал ее уже как историко-публицистическое повествование «о новых» «страстотерпцах» и «новых изменниках» и «мучителях», «разорителях» и «губителях веры христианския». Своеобразие этого памятника древнерусской литературы в том, что в нем сочетаются черты историко-публицистического повествования с формой и стилем, присущими памятникам агитационной деловой письменности, тем патриотическим грамотам-воззваниям, которыми тайно обменивались русские города во время польско-шведской интервенции 1608—1612 гг. Неверно было бы отождествлять «Новую повесть» и с «подмётными письмами» («листами»), которые обычно подбрасывались для прочтения в людных местах. Повесть же предназначалась для тайной передачи только проверенным патриотам из рук в руки. По своей идейно-тематической направленности, содержанию и стилистическим приемам она ближе всего к двум литературно обработанным «грамоткам» — воззваниям, написанным примерно тогда же или немного ранее, в январе — феврале 1611 г., и, вероятно, тем же московским книжником. Воззвания эти были восприняты современниками как подлинные грамоты из Москвы и Смоленска и были включены в состав февральской «отписки» из Нижнего Новгорода в Вологду 1611 г. вместе с грамотой П. П. Ляпунова из Рязани в Нижний Новгород.

Создавая Повесть, автор следовал и композиции, и стилю агитационных патриотических грамот-воззваний: «Новая повесть» начинается и кончается традиционными адресатами-обращениями к людям «всяких чинов» «преименитаго Великаго государства» и следует принятым в них приемам описаний бытовых народных сцен (например, в сцене у Кремлевских ворот), их темам и призывам. Однако, сохраняя эти жанровые признаки агитационной письменности, «Новая повесть» представляет собой пространное художественное произведение, выполненное искусным книжником-стилистом, который свободно владел как приемами высокого риторического стиля, так и стилем деловых документов, знанием традиционных метафор и образов, обличительных средств русской демократической сатиры, а также мастерством ритмической и рифмованной речи, и с помощью этих выразительных средств сумел создать яркие и контрастные образы патриотов и врагов, «явных» и «тайных» предателей. Героически обороняющийся Смоленск изображен им как «прехрабрый воин», удерживающий за узду взбешенного жеребца; сам король Сигизмунд III — в образе жениха-насильника, а Россия — в образе прекрасной богатой и благородной невесты. Раскрывая свои политические симпатии сторонника августовского договора 1610 г., автор восхваляет героизм двух «вящих самых» из «Великого посольства» (В. В. Голицына и Филарета) и создает идеализированный образ патриарха Гермогена как «добротолюбца» и «учителя», «воина Христова», «крепкого адманта» и одиноко, но непоколебимо стоящего опорного «столпа» всей «Великой полаты» — России. Уникален и автопортрет создателя «Новой

*повести», впервые в русской литературе раскрывающий сложную и противоречивую психологию тайного патриота, вынужденного жить двойной жизнью.*

*Текст «Новой повести» печатается по изданию: Дробленкова Н. Ф. «Новая повесть о преславном Российском царстве» и современная ей агитационная и патриотическая письменность. М.; Л., 1960. С. 189—209, с внесением изменений по правилам публикаций в БЛДР; выверен по единственному сохранившемуся списку: ГБЛ, собр. МДА, № 10 (175), в 4-ку, л. 369—388 об., находящемуся в составе сборника Троице-Сергиева монастыря. В книге Н. Ф. Дробленковой (в Приложении - с. 288-234) опубликованы также тексты двух московских подложных литературных «грамоток» — воззваний 1611г., написанных от имени москвичей и смольнян (с. 226—234), ближе всего стоящих к «Новой повести».*

НОВАЯ ПОВЕСТЬ О ПРЕСЛАВНОМ РОССИЙСКОМ ЦАРСТВЕ И ВЕЛИКОМ ГОСУДАРСТВЕ МОСКОВСКОМ, О СТРАДАНИИ НОВОГО СТРАСТОТЕРПЦА СВЯТЕЙШЕГО КИР ГЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА ВСЕЯ РУСИ, О ПОСЛАННИКАХ НАШИХ, ПРЕОСВЯЩЕННОМ ФИЛАРЕТЕ, МИТРОПОЛИТЕ РОСТОВСКОМ, И БОЯРИНЕ КНЯЗЕ ВАСИЛИИ ГОЛИЦЫНЕ С ТОВАРИЩАМИ, О СТОЙКОЙ ОБОРОНЕ ГОРОДА СМОЛЕНСКА И О НОВЫХ ИЗМЕННИКАХ И МУЧИТЕЛЯХ, ГОНИТЕЛЯХ И РАЗОРИТЕЛЯХ, И ГУБИТЕЛЯХ ВЕРЫ ХРИСТИАНСКОЙ, ФЕДЬКЕ АНДРОНОВЕ С ТОВАРИЩАМИ

Православным христианам матери городов Российского царства преименитого Великого государства — всяких чинов людям, которые еще душ своих от Бога не отвратили, и от православной веры не отступили, и в вере заблуждениям не следуют, а держатся благочестия, и врагам своим не предались, и в богоотступную их веру не совратились, но готовы за православную свою веру стоять до крови.

Бога ради, государи, моля Всемилостивого Бога и Пречистую его Матерь, заступницу нашу и молебницу, помощницу всему роду нашему христианскому, и великих чудотворцев, кои у нас, в Троице, прославлены, и всех святых, порадейте о себе! Вооружимся на общих супостатов наших и врагов и постоим вместе крепко за православную веру, за святые Божии церкви, за свои души и за свое отечество, за достояние, что нам Господь дал, и изберем славную смерть! И если выпадет нам эта участь, то лучше по смерти обрести Царство Небесное и вечное, чем здесь — бесчестное, позорное и горькое житье под властью врагов своих.

Станем подражать и подивимся тому великому нашему граду Смоленску, его обороне от Запада, как в нем наша же братия, православные христиане, в осаде сидят и великие всякие страдания и притеснения терпят, но стоят крепко за православную веру, и за святые Божии церкви, за свои души, и за всех за нас, а общему нашему супостату и врагу, королю, не покорятся и не сдадутся. Сами знаете, с какого времени сидят и всяческие великие притеснения терпят, но никакой малостью не поступятся и ни на какие их дьявольские соблазны и обещания не польстятся, на те, что обещает им сам наш супостат. И все стоят единокорно, непреклонно и неизменно умом и душою против их соблазнительных ложных обещаний. А душ своих в грехе не потопят и навеки загубить не хотят, но готовы лучше умереть со славой, нежели жить в бесчестии и горе. А какое мужество показали и какую славу и похвалу снискали во всем нашем Российском государстве! Да и не только во всей нашей преславной земле, но и в иных землях, в Литовской, и Польской, и во многих других; чают, что и до Рима, или и еще далее, снискали ту же славу и похвалу, что и у нас. Да и самого того короля, лютого врага, супостата нашего, поразили и его пособников (таких же безбожников, как и он, которые с ними там, под градом, стоят и город тот, как злые волки, похитить хотят, и которые у нас здесь, в великом нашем граде, живут, и на сердцах наших стоят, и, как лютые львы, всегда поглотить нас хотят), а Создателя нашего прославили. А еще утрашили и в самое их злокозненное и злобствующее сердце их уязвили тем, что многих доброхотов их, а наших врагов, перерубили, и перегубили, и позорной смерти многих предали, да и ныне с Божьей помощью всегда их, врагов, губят и

сильно их рубят. Чаем, что и малые дети, узнав, подивятся этой их, горожан, храбрости, мужеству, великодушию и непреклонности духа.

Если же Бог будет до конца их так укреплять, как ныне, и выдержат они эту суровую осаду и великое мученическое страдание за православную веру, за святые Божии церкви, за себя и за всех нас и устоят, то этой своей стойкостью все царство наше сохранят от того лютого нашего супостата до той поры, что одному Господу известна, пока он неизреченными своими судьбами невидимо великую свою милость подаст всему нашему Великому государству и избавит нас всех от таких непереносимых бед, изымет нас из-под власти врагов наших, как агнцев из уст волчьих. Тогда кто сможет описать эту их доблесть и мужество?! Тогда можно будет и прямо сказать, что не только в своей единственной земле, но и по многим иным странам: до Царьграда, и до Рима, и до Иерусалима, к самому востоку и западу, к северу и югу разнеслась эта слава: «В таком-то царстве и сам тот город спасся и других спас, а супостата и врага-короля попрали и прогнали и все свое Великое государство удержали». Если бы таких несокрушимых городов, поборников веры, в Российском государстве хотя бы и немного было, не то чтобы все, никогда бы тем нашим врагам и злым волкам наша земля не была бы доступна, а проще сказать, — не было бы им и повадно.

Подобает же нам подражать и дивиться и посланникам нашим ото всей нашей Великой России: прежде всего — от последователя и сопредстольника святых святейшеств вселенских патриархов, от первенца и главы церковной всея Руси, пастыря нашего и учителя, и отца отцов и святителя, истинного стоятеля, и твердого поборателя за веру христианскую; потом — от самых благородных и великих земледержцев наших и правителей, ныне же, лучше сказать, и кривителей (да не о том здесь речь, то впредь увидите); а также и — от всех людей всяких чинов, — под тот град Смоленск, к тому супостату нашему и врагу-королю, на добрейшее дело, для мирного совещания и наилучшего договора о том, чтобы от корня того гнилого и нетвердого, горького и кривого деревца, в тени растущего (на него же, полагаю, и праведное солнце едва ли сияет, и совершенной благодати от него не бывает, а если же по устройению своему оно изредка на него и взирает, то все же искоренение его ожидает), ветвь, избираемую нами только ради величия рода, от него отделить, и водою и Духом ее достойно освятить, и, Вышнего велением, на высоком и преславном месте посадить, что своим превосходством превыше и славнее всех мест во всей поднебесной. И расти бы той ветви и цвести во свете благоверия, от горечи бы своей ей избавиться, и приобрести бы сладость, и всем бы людям подавать плод сладок, а злой бы корень и зелье с того места вон вывести (ведь этого дурного коренья и сорных злаков на том месте много укоренилось!), и чтобы уж тому высокому и преславному месту больше не колебаться, ибо, за некую провинность перед Творцом, место то стало колебаться, а живущие в нем — смущаться и головами своими глупиться, а оттого — и великой крови литься. А ту бы посаженную ветвь беречь со всяческим тщанием единодушно, а не двоедушно, то есть рожденного от него у него бы выпросить и к нам с ним прийти, а нам бы его, по нашему завету, как бы заново родить, и из тьмы неведения вывести, и, как слепому, свет дать, и на великий престол возвести, и посадить, и скипетр Российского царства вручить. А ему бы у нас все на благо творить, и веры бы нашей и закона ничем бы не нарушать, а свое бы ему нечестивое происхождение забыть. И нам бы ему тоже неизменно и бескорыстно служить. А тех бы врагов наших и губителей от нас, из царствующего града и из всей нашей земли, выслать вон и выгнать, как злых и голодных волков, в их проклятую землю и веру. И уж тогда бы неповинной христианской крови больше не литься, волнениям прекратиться и впредь тихо бы и безмятежно жить, если Всемилостивый Владыка утолит после этого свой праведный гнев. Злонравный же и жестокий тот супостат-король ничего подобного не хотел и не мыслил в уме своем, чтобы так тому быть, как нам угодно, — ведь с давних лет на наше Великое государство все они, окаянные и безбожные, и те, что прежде того были, его же братья, той же их проклятой земли и веры, помышляют, как бы им Великое государство наше

похитить и веру христианскую искоренить, а свою богомерзкую учинить. Но тогда еще не пришло им время, пока не дошло до нынешнего нашего супостата-врага, короля. А он так сильно возрадовался злокозненным сердцем своим и распалился всеми членами своими, словно тот, кто, еще не овладев, жаждет обрести великое богатство и в душе своей уже ликует, но по какой-то причине еще не окончательно держит его в своих руках. Так и он, окаянный король. Не ему искони дано Богом и тем более — ни его наследство, ни отечество, а хочет само Великое наше государство и с ним бесчисленные богатства взять и владеть, и радуется, и кипит злым своим сердцем; чаем, что и на одном месте не усидит или же мало спит от своей великой радости, но из-за непокорности и неодолимости того крепкого нашего града еще не окончательно видит у себя в руках все наше Российское великое государство. Или же подобен он некоему злему и властному безбожнику: не по своему достоянию и даянию ему от Создателя, хочет взять за себя невесту, прекрасную и благородную, богатую и известную и во всем совершенную, к тому же и благоверную. Но из-за нежелания невесты и ее родственников и доброжелателей (кроме ее злодеев) не может вскорости ее взять и мужем ей стать, пока родственников и доброжелателей невесты силою и какими-нибудь ухищрениями не победит и себе их не покорит, а тогда и невесту со всем ее богатством за себя возьмет. Так и он, окаянный, еще не окончательно Великое наше государство в руках своих держит из-за нежелания царствующего великого нашего града и того крепкого нашего заступника и поборника, под которым он, окаянный, сам стоит, а также и иных всех наших городов, не желающих его (кроме его доброхотов, а наших злодеев, которые ныне им прельщены и тленной, мимолетной и гибнущей славой и богатством ослеплены, — о них впредь еще будет наше слово).

И еще на то надеялся, окаянный, что по Божьей воле царский корень у нас перевелся, восприяв вместо тленного и мимолетного царства небесное и вечное, а земля наша, за великие грехи наши, без них, государей, овдовевшая, в великую скорбь поверглась. А горше всего, в ней произошел разлад: из-за гордости и вражды не захотели многие из рода христианского царя избрать и ему служить, но пожелали среди иноверных и безбожных царя изыскать и ему служить. А те, прежде названные его доброхоты, а наши злодеи — об именах их нет здесь речи — растлились умами своими и захотели соблазнам мира сего служить и в великой славе быть, а иные, нелюди, — не по своему достоинству чина почетного достичь. И ради этого от Бога отпали, и от православной веры отстали, и окаянными своими душами пали и пропали, и хотят его, злодея нашего, на наше великое государство посадить и ему служить. И по сию пору чуть ли не все Российское царство ему, врагу, предали! Если бы они могли, то в одночасье бы его, врага, сюда привлекли и во всем бы с ним совершили свою волю над нами. Но все милостивый Владыко еще нас, грешных, своей милостью не оставляет, и умысел их и заговор разбивает, и тем крепким нашим градом, под которым он, злодей, стоит, его обуздывает, и к нам идти воспрещает. А если за великие грехи наши, по Божьему гневу и его, злодея нашего, злему умыслу, он каким-нибудь способом возьмет тот наш накрепко стоящий город, тогда и до царствующего града дойдет, и всех достигнет, и нас себе покорит. И еще те его доброхоты, а наши злодеи, о нем радеют, во всем ему добра желают и великое Российское царство полностью отдать ему хотят ради своей мимолетной славы и величия. Потому он, окаянный, и не хочет так сделать, как нам угодно. И уж, конечно, в уме своем представляет, что овладел Великим нашим государством, а так как бесовским своим достоинством всю нашу землю наполнил, то окончательно и уверился в этом.

И тех посланников наших задерживает, и всяческими притеснениями, голодом и жаждой их совершенно изнуряет, и пленом угрожает. Пошли они от нас со многими людьми в великом множестве, а ныне-де лишь с малой дружиной остались две самых представительнейших. А остальные-де, все, кто не смог вынести великих страданий и притеснений, тому супостату-врагу, королю, поклонились и его воле вверились. Того не ведаю, все ли по велению сердца пред ним склонились или втайне верны нам, да ныне-де

усмирены, но с нами стоять за веру хотят, только разошлись и разъехались одни к нам, а другие — кто куда по своим местам.

А те-де наши оставшиеся, самые представительные, так же как и сами горожане, стоят упорно и непреклонно духом своим за святую непорочную христианскую веру и за те условия договора, о чем здесь с подручным его Желтовским (таким же безбожником, как и сам наш супостат) было установлено соглашение с нашими земледержцами (ныне же, по уму своему, достойными наименования землестебцами).

Подобает весьма восхвалять их и удивляться им. Что может быть похвальнее, и удивительнее, и бесстрашнее?! В руках будучи у своего злого супостата и врага, пред смертью стоя и терпя всякие принуждения, а все же лица своего пред ним, супостатом, не позорят и в глаза ему говорят, что отнюдь его воле не бывать и самому ему у нас не жить, да и не только ему, но и рожденному от него, если тот не будет освящен так же, как и мы, Божией благодатью.

Еще более почтим да подивимся пастырю нашему и учителю, и великому отцам отцу, и святителю! (Имя же его всем ведомо.) Словно столп, непоколебимо стоит он посреди нашей великой земли, посреди нашего Великого государства, и православную веру защищает, а всех душепагубных наших волков и губителей увещевает. И стоит один против всех них, как муж-исполин, без оружия и без воинского ополчения, только учение, как палицу, держа в своей руке против великих агарянских полчищ и побеждая всех. Так и он, государь, вместо оружия только словом Божиим всем врагам нашим затворяет уста и, в лицо их посрамляя, ни с чем отсылает от себя. А нас всех укрепляет и поучает устрашения и угроз их не бояться и душами своими от Бога не отступаться, а стоять бы крепко и единодушно за дарованную нам Христом веру и за свои души, как и они, горожане, в том граде и как посланцы наши под тем же градом.

О великое Божье милосердие! Еще не до конца прогневался он на христианский род. О чудо и диво! И воистину великого плача достойно, как мать городов Российского государства со всеми ее крепостными стенами и великими умами и душами врагам и губителям покорилась и сдалась и на волю их отдалась, кроме лишь того нашего великого, стойкого и непоколебимого столпа, духовного и крепкого алмаза, и с ним еще многих православных христиан, которые хотят за православную веру стоять и умереть!

А тот, прежде упомянутый град, воистину великий по своим деяниям, против тех супостатов наших и врагов, а точнее сказать, против самого лютого супостата нашего, злого короля, желающего погубить святую нашу и непорочную веру, — крепко вооружился и укрепился, и не покорился, и не сдался. Да и ныне стоит и утверждается, можно сказать, все великое наше Российское государство поддерживает, а всех наших врагов, тамошних и здешних, и самого того общего нашего супостата-короля страшит. И, как бесстрашный воин, сдерживает он уздой челюсти дикого, свирепого, неукротимого жеребца, трубящего на кобылицу мула, и все тело его к себе обращает, и воли ему не дает, а ежели даст, то и сам от него погибнет, занесен будет в бездонную пропасть и разобьется. Также и тот великий град, своими подвигами великий, помыслы того супостата нашего и похитителя веры нашей православной, с ревом рвущегося на Великое наше государство и на всех нас, укрощает и к нам ему идти возбраняет. Если бы град тот до сих пор не останавливал его и не удерживал, без всякого сомнения, давно бы супостат наш у нас здесь был. А если бы Бог, за великие грехи наши, его к нам допустил, он бы вконец всеми нами овладел и во всем бы над нами волю свою учинил. Горше же всего, святую и непорочную нашу веру тоже бы вконец искоренил, разве что только наш великий и непоколебимый Бога заступник веру бы до конца удержал (или нет?), не смею и дерзнуть вымолвить. А ныне его, супостата нашего, злого короля, тот наш град не за голову, не за руки, не за ноги, но за самое злонравное и жестокое сердце держит и к нам идти не дает. И посланники наши также крепко и единодушно православную веру защищают, и пред тем супостатом нашим ни в чем лица своего не срамят, и за правоту против него стоят. И хотя

они не в граде с горожанами сидят и словесного с ними совета не держат, но сердца их, по Божьему промыслу, вместе с горожанами благочестием горят.

А у нас, здесь, прежде названный непоколебимый столп сам мужественно и непреклонно духом своим стоит и не единые лишь стены великого нашего града держит, но и всех живущих за ними бодрит, и учит, и духовно им в погибельный ров впасть не велит. И более того, великое это безводное море словесами своими утишивает и укрощает. Сами все видите! Если бы не он, государь, все здесь держал, то кто бы другой такой же встал и нашим врагам и губителям мужественно противостоял?! Давно бы под страхом наказания от Бога отступились, душами своими пали и пропали.

Если же Божьим изволением, и помощью, и всех наших грехов прощением все Великое наше государство будет спасено двумя этими крепкими заступниками и поборниками веры нашей христианской, и от тех врагов избавится и защитится, покамест еще доброе начинание ваше не свершится, и замыслы ваши над теми врагами не успеют проявиться (скажу, что там это — от града, а здесь — от того стойкого нашего и непоколебимого столпа), то уж ни в коем случае подобное важное известие и событие не сможет от многих земель утаиться, но повсюду разнесется и прославится, как такими мерами это царство спаслось и от врагов своих избавилось. И еще скажу: «О, велико Божие милосердие и щедроты Его ко всем нам!» Там град стоит, и супостата держит, и намерения его обуздывает, и всем нам в защите Бога и православной веры усердие придает, чтобы все мы, видя его крепкую и непреклонную оборону, также крепко вооружились и стали против супостатов своих. А здесь, у нас, наш крепкий и непоколебимый столп стоит и всех нас бодрит и учит и тому же граду подражать велит.

Приступайте, начинайте, православные! Приступайте, начинайте, христоролюбивые! Мужайтесь и вооружайтесь, поднимайтесь на врагов своих, чтобы их победить и царство освободить! Не выдайте наших по Богу спасителей и нерушимых заступников: там — града и посланных под него, а здесь — общего нашего пастыря и учителя, и отцов отца, и святителя!

Скажу вам истину, а не ложь, что супостаты наши, которые ныне у нас, — заодно с нашими изменниками-единоверцами, новыми богоотступниками и кровопропитателями, и веры христианской разорителями, родственниками сатанинскими, собратьями Иуды, предателя Христова, с нашими начальниками и с новыми их прислужниками, пособниками и единомышленниками, которые недостойны по своим злым делам истинным именем своим именоваться (называть их следует — душепагубные волки), ибо хотят нас вконец погубить и под меч склонить, а жен наших и детей в рабов и холопов обратить, нажитое же нами разграбить и, что горше всего и печальнее, — святую нашу непорочную веру вконец искоренить, а свою, отпадшую от православия, насадить и самим в наших владениях жить. Сами видите, что они ныне над нами чинят: всегда пред очами нашими всем нам смерть показывают, издеваются, насилуют и убивают нас, и дома наши отнимают у нас, и нас же при этом позорят. Как волки, зубами своими скрежещут, пугают нас и грозят смертью. Да и не только над нами глумятся и насмеваются, но и над самим образом Создателя и Богоматери. И руками дерзают прикасаться и стреляют в воплощенный образ Божий и Пречистой его Матери, о чем ныне свидетельствуют злодейские руки, пригвожденные к стене под образом Божьей Матери, всем им, окаянными, на устрашение и трепет. И все стремятся быть вооружены и оснащены, словно против истинных злодеев изготовлены. Знают, окаянные, что не в свои владения пришли и сверх меры хотят себе заполучить, если Бог до того их допустит.

Ныне же послали во все города, по которым стоят такие же губители и неповинного новоизраильского рода кровопролители, и велели им прибыть сюда к нам. А наших людей воинского звания, которые живут у нас здесь, тех всех высылают долой, замышляя так, чтобы их, врагов, было много, а нас мало, чтобы нам против них совсем нельзя было подняться, а им бы вконец нами овладеть и себе покорить. Так не смотрите же на то, православные христиане, и не верьте лицемерию тому, что ныне они пред вами чинят:

сами своих же людей казнят. А все обманывают нас, уверяя и прельщая вас тем, как поступают и обещают, что не отцу у нас быть, а сыну.

Да и сам тот злодей наш, сыновий отец, тоже прельщает и манит, подобно сатане, наваждения творит и, словно бесов, с известиями присылает, что будто бы хочет сына своего нам дать по решению и добровольному соглашению с ним, злодеем, здешних его, злодея, злодеев наших, а его доброхотов, прежде названных тех изменников, всего нашего Великого государства крестопреступников и вероотступников. Видя здесь, в нашем мире, волнение и за веру стояние, оттого-то нас прельщают и манят, чтобы всех нас подчинить и укротить, а великого бы нашего моря не возмутить, и им бы самим, врагам, в нем не потонуть, и голов своих не сложить. И так вот рассуждают, покуда не соберутся в большом числе со своими сообщниками, такими же безбожниками, и покуда сам наш супостат и сущий всем нам враг не возьмет каким-нибудь ухищрением и Божьим попусшением, а всех нас великим грехом и преступлением пред ним, Господом, того нашего града, стойкого защитника, непокорного ему, злодею. Как змей, тогда прилетит к нам со всем своим бесовским воинством, а те, что ныне здесь, у нас, все на нас поднимутся, как змеи и скорпионы или как волки лютые, и он овладеет нами. И тогда нам будет от них окончательная гибель, если Господь Бог за великие грехи наши разгневается на нас и окончательно захочет нас предать им, как псам, на съедение.

Но никогда тому, православные, не быть, чтоб сыну у нас, здесь, жить! Сами видите, что все это лживый обман и хитрость. Неужели этому не поверите, видя над собой явное злоумышление?! Думаю, что и малые дети, услышав это, понять могут, а не только взрослые и разумные люди. Когда же отец желает зла сыну?! И то, нам сына дать, а самому, как злому волку, под городом Смоленском стоять, и тем же врагам волю дать нашу землю разорять, и неповинную кровь христианскую проливать, а у остальных чрезмерные и неподъемные подати взимать, и до смерти их мучить, да и наших посланных туда до смерти морить, а у нас здесь, в великом граде, большое притеснение чинить?! Так ли сыну прочить, если все вконец губить?! А он, окаянный, этими делами не только сыну не прочит, но и сам здесь жить не хочет. Ему бы только свою волю совершить и великую бы славу учинить, что всеми нами они овладели, а нам бы под его властью быть и ему принадлежащими слыть. А ему бы своих подданных, таких же безбожников, в Великом государстве нашем насадить, и всем бы царством, что еще вживе останется, им править и ведать поручить, и дани-оброки всякие тяжкие взимать, а к нему бы, врагу, как бесам — к сатане, жертвы приносить. Верьте полностью, христоролюбивые, тем словам, что сыну — не бывать!

Еще прежде этого всем вам стали очевидными и собственное его, отцовское, злокозненное желание и вся его тайна. Некто из того же душепагубного и бесовского сонмища, из нашего, Христу тезоименитого, рода, зачинщик зла и губитель Божьего жребия (за все его злые дела недостоин он быть назван во имя духовного или святого, но должно прозвать его «злой человекоядный волк»), этот душепагубный волк, на того нашего великого столпа и отцов отца и святителя (имя же его всем вам ведомо) яд свой изрыгнул и потаенное свое всем явно открыл: замыслил своим злохитрым умом поколебать тот непоколебимый наш столп и на свою богоотступную сторону склонить. Словно змей, словами своими соблазнял, чтобы он, великий столп и твердый алмаз, и сам бы поколебался в сторону их суетных и человекоубийственных помыслов и желаний, сдался бы на их вражью волю, и весь бы наш многочисленный народ духовно навеки в погибельный ров впасть понудил, и сам бы, всего мира спасение, злодею-отцу присягнуть повелел. Великий же и непоколебимый столп Богом прочно водружен, не на песке основан, а на тверди сердец: и сам никогда не колебался и ни малость не покачнулся в их богоотступную сторону и ту палату, великую вширь, вдаль и округ, что на нем стоит и держится, и в ней живущий многочисленный народ до греха не допустил и духовно их навеки не пленил, а еще больше укрепил. Тот же вышеназванный, многих душ губитель и злой разоритель Великого государства, видя крепкое и непреклонное того столпа стояние за святую и непорочную

веру и за все православное христианство, разверзнул свои дьявольские уста и начал, как обезумевший пес, в небо глядя, лаять, и скверными словами, словно сущий буйан камнями, в лицо святителю метать, и высокочтимое священство бесчестить, и даже родившую его мать упоминать с непристойным и оскорбительным словом. Он же, государь, твердый алмаз, не только тем словам не внял и той его словесной буйности не убоился, не утрастился, но даже и осмеял его безумную словесную дерзость, да и крепко ему пригрозил и великую беду ему провозвестил; пречистыми устами своими ему изрек, мнится мне, словно острым оружием, своим словом святительским тело и злонравную душу его посек: «Да будешь проклят со всем своим сонмом в сем веке и в будущем, также и с тем, кого сам так желаешь и кому, словно всего мира спасению, крест целовать побуждаешь!» И еще добавил: «Нам не только он не угоден, но также и отпрыск его, если не исполнит нашей воли». Он же, окаянный, потупив лицо свое, отошел со всем своим сонмом, посрамлен и изумлен, но более того разъярен на великого пастыря и учителя и за правду крепкого стоятеля, словно змей шипя или как лев рыкая.

После же, окаянный, опомнился и, поняв свою вину и осознав злой свой умысел, раскаялся про себя в дерзости словесной, что не время ему было так говорить и явно и нагло великому господину тайну свою открыть. И побоялся многочисленного народа христианского: что, если все это словопрение, как недостойный, злой и неугодный им поступок, до сих донесется, а также то, что несправедливо вел он себя с высочайшей главой и непоколебимым столпом, не как положено со святейшим, а его, как из простых простейшего, словно пес, лаял и бранил. И от тех своих речей отказаться вздумал, будто и не говорил, и, как в темных хоробах, затворил в скверном теле своем лукавую свою душу. А потом ведь, злодей, и еще лицемерие сотворил: будто бы расшумевшимся был и не помня что говорил; и у великого святителя и незлобивого учителя прощения испросил. Однако же хотя и прощения просил, но все же и впредь от злого своего нрава-обычая и злодейских замыслов не отказался. И ныне дышит и сипит, словно скорпион, и не переставая крамолы воздвигает, и все свое плотское бесовское сонмище возмущает, и всячески ему, государю, досаждают.

И теснят — сами все видите — и мыслят со всеми своими пособниками, как бы его, государя, вконец погубить, чтобы без него все свои желания свершить и, как змеям, всех нас поглотить. А как я уже сказал, без него некому будет им, врагам, препятствовать и противостоять накрепко, как он, государь.

Он же, великий столп и твердый алмаз, мужественный воин Христов, не имея ни тула, ни меча, ни шлема, ни копья, ни воинов вооруженных (ибо ему не положено то, не велено Создателем все это держать при себе), к тому же ни стен, крепко огражденных, лишь словом Божиим, как неким оружием, опоясался или, словно избранным воинством, ополчился и некими неприступными стенами оградился. «Не бойтесь, — сказал, — убивающих тело: души ведь коснуться не могут!» И воссылает он всегда от всего сердца к Богу и Пречистой его Матери свои молитвенные словеса о себе и обо всех нас, а более всего о святой и непорочной христианской нашей вере, чтобы православная христианская наша вера от тех врагов наших и губителей не погибла; и слезы из очей своих, словно речные стремнины, испускает перед образом Господа нашего Иисуса Христа, и Пречистой его Матери, и прославленных в Русской земле великих чудотворцев, и всех святых, и надеется своими обильными слезами и молитвенными словесами, как острыми стрелами, от себя и ото всех нас тех наших общих явных врагов отогнать и поразить, и все Великое государство от них освободить.

О столп крепкий и непоколебимый! О крепкая стена и забрало у Бога и Пречистой его Матери! О твердый алмаз, о поборник непобедимый! О непреклонный веры заступник! О воистину пастырь неложный! В похвалу сказано было о таких великих и стойких душою — «пастырь добрый»: «Пастырь добрый душу свою полагает за овец». Воистину, воистину, пастырь он добрый, а не наемник: душу свою полагает за овец, которых ему дано пасти. А на вые его возложены все мы, православные христиане. Напоминает он

Божественное Писание: «Подобаает за слово Божие на смерть стоять». И видим все: не даст слову Божию пропасть на земле и, хотя всегда рядом со смертью ходит возле общих наших врагов и губителей, однако хранит надежду на Творца нашего, и Богоматерь, и на великих чудотворцев, общих наших заступников и богомольцев. Ежели ему, государю, и случится за слово Божие умереть, — не умрет, но жив будет вовеки.

Во всеуслышание и решительно следует сказать: если бы таких великих, стойких и непоколебимых столпов было у нас немало, то никогда бы в нынешнее злосчастное время наша бы святая и непорочная вера от тех душепагубных волков, от явных врагов, чужих и своих, не пала, но еще более бы просияла, а великое бы наше море без колебания и волнения стояло. А ныне один уединенно стоит и всех держит, а врагам сурово грозит. И иному некому пособить ни словом, ни делом; кроме Бога, Пречистой его Матери и великих чудотворцев никаких других пособников не имеет. Те же, кто были его сынами и богомольцами и принадлежат тому же духовному сану, — те славою мира сего тленного прельстились, протще сказать, подавились, и на сторону врагов склонились, и творят их волю.

А сами наши земледержцы (как уже прежде сказал, — землесьедцы), те давно от него отстали, и ум свой на полное безумие променяли, и к ним, ко врагам, пристали, а пред иными, как пред своим подножием, ниц пали, и господское свое происхождение променяли на жалкое рабское служение, и покорились, и поклоняются неведомо кому, — сами знаете, — и угождают ему, и смотрят ему в рот нечестивый, что им позволит и прикажет, как нищие, пред проклятия достойным богатым. (Впредь мы объявим вам его имя, проклятое Богом и людьми. Теперь же пойдем дальше.) Так-то вот эти наши благородные сгуповали и душами своими пали и пропали навеки, ежели только не обратятся от этого зла и худа к добру. Горше же всего они нам то учинили, что всех нас предали, и не только предали, но и заодно с ними, с врагами, вместе на нас ополчились и хотят нас всех погубить и веру христианскую искоренить.

Ежели и есть избранные среди тех же чинов и боярских родов, которые сердцем обращены к христианской вере и о нас обо всех жалеют и радуют, да они не могут ничего сделать и не смеют начать, ибо не с кем выступить на борьбу и показать свою силу, а с ними, врагами, ничего не сделать, ибо вошли они в большую власть: многих бранным богатством и славою прельстили, иных закормили и везде своих доносчиков и доброхотов поставили и понасадили.

Один только у нас ныне есть у Бога и Пречистой его Матери стена и забрало, так это он, государь, великий святитель и крепкий заступник. Ежели с ним, государем, по вине наших врагов что-то и случится и он от телес отрешится, и от света сего тленного в вечные обители переселится, то и вера наша теперешними нашими губителями окончательно погубится, если только ненависть ваша к ним так и не проявится. А ежели его, государя, от них Бог соблюдет и он невредим поживет, тогда Бога, и Пречистую его Матерь, и великих наших чудотворцев, и всех святых умолит, и себя, и всех нас спасет, и веру поддержит, и врагов победит молитвою своею.

А вы, православные, не помогаете ему, государю, ни в чем! Говорите одно, а на деле Бог весть чего еще от вас ждать. Снова прошу вас с великими слезами и сокрушенным сердцем: порадейте о себе и о всех нас! Мужайтесь и вооружайтесь и совет меж собой держите, как бы нас от врагов своих освободить! Время, время пришло! Время приспело деяние-подвиг свершить и на страдание решиться, как только Бог вам укажет и помощь вам подаст! Прибегнем же к Богу, Пречистой его Матери, к великим чудотворцам и всем святым! Припадем к ним с искренней верою, со смиренным сердцем и горячими слезами, да подадут нам милость свою! Препояшемся оружием телесным и духовным, то бишь молитвою и постом и всякими добрыми делами! Станем храбро за православную веру и за все Великое государство, за православное христианство и не предадим пастыря нашего и учителя, крепкого поборника веры православной, и того нашего преславного града, который за всех за нас стоит и супостата нашего держит. Сами вы знаете, что если не

теперь умрем, то все равно умрем. Да пусть же за правоту нашу сохранит нас Господь невредимыми и не погибнем от врагов своих! Если же ныне будем терпеть, время тянуть, то сами по себе, из-за своего нерадения и нерешительности и погибнем.

Что стали, что оплошали? Чего ожидаете и зачем врагов своих к себе допускаете, а пагубному корню и зелью даете в земле укорениться и, как злой горькой полыни, пуще расплодиться?! Или того ждете, чтобы вам сам тот великий столп святыми своими устами изрек и повелел бы вам против врагов встать и вас на кровопролитие поднять? Сами знаете, его ли это дело — повелевать кровь проливать?! Ей-ей, никогда от него, государя, такого наставления не будет, ибо и сам он, — государь великого разума, понимания и мудрого ума, — полагаю, мыслит, чтобы не от него началось, но им бы добро свершилось, его бы непреклонной стойкостью и молитвами к Богу, а вашим бы старанием, ополчением на врагов и мужеством. То ли вам не весть от него, государя, что он, как добрый пастырь, всех нас спасает от душепагубных, человекоядных волков и чистой нашей Голубицы не даст им, словно змеиной пастью, поглотить и погубить, да ожидает с часу на час Божьего вспоможения и вашего против них старания и дерзновения?! А ежели вы и без его, государева, словесного повеления и рукописания за правду свою на злодеев дерзнете и благо сотворите и их, врагов, победите, царство от бед освободите и веру сохраните, а его, государя, святителя великого, и себя, и всех нас от врагов избавите, то не будет вам от него проклятия и запрета, более того — великое благословение вам и чадам вашим, из рода в род, каждому до скончания его жизни.

Сами вы видите, какое гонение на православную веру и какое притеснение всем православным христианам от наших губителей и врагов! Беспреданно многим смертоносное посечение, а иным тяжкое ранение, иным ограбление, а женам бесчестие и насилие. И покупают не по цене и отнимают насильно; притом не по цене оценивают и не серебром платят, а стоят с мечом над головой всякого торгующего православного христианина и смертью грозят. Наш же брат, православный христианин, видя свое осиротение и беззащитность, а их, врагов, полное одоление, не смеет иной и рта раскрыть, боясь убитым быть, даром от имущества своего отступается и только слезами обливается. И уж больше нечего им, врагам, было выдумать, как бы еще всех нас, православных христиан, притеснять, надругиваться над нами, кичиться и насмехаться, так они (как видим мы сами) вот что ухитрились затеять для всего Великого и могучего нашего царства (поистине великого и неукротимого, как море!): на той стороне, где стена имеет двое ворот рядом, одни ворота затворить и на замки закрыть, а другие приотворить, да и те — вполовину. А множеству христианского люда не то что тесными и узкими воротами бывало не пройти, да и в широкие-то не в одни, а только через многие удавалось выйти, ибо Божией благодатью христианский люд бесчисленно расплодился и умножился. Ныне так за грехи нас всех поубавилось, посечено и угнано теми же врагами и губителями в плен, в проклятую их землю и веру! Но хотя и убавилось, хотя и мало нас кажется, а много еще набирается. И всегда в тех воротах начинают друг друга теснить (попросту сказать, как мышей, давить), и шум, и визг, и крик бывает из-за этого узкого и затрудненного проезда и прохода. А им бы при этом, самим врагам, вооруженным всяким смертоносным оружием, с обеих сторон тех узких ворот стоять наготове пешими и на конях, и у самых шей наших и сердец это свое оружие в руках своих держать, и нас бы всех постоянной и явной смертью устрашать.

Это ли вам не весть, это ли вам не повеление, это ли вам не приказание, это ли вам не писание?! Ох, ох, увы, увы! Горе, горе злое-лютое! И куда идти, куда бежать? Как не заплакать, как не зарыдать, как всей душой не страдать, как в грудь себя не бить?! Как же сами мы не заботимся и не радеем о себе, когда видим за великие и бесчисленные грехи наши по воле Создателя и Творца полное наше смирение, а врагам, чужим и своим, попускание, и всяческое от них над собой надругание, и осмеяние. Хотя и плачем, и рыдаем, и бьем себя в грудь, и всей душой страдаем, и сильно тем Создателю досаждаем, но подвига и рвения не проявляем, и к Богу не прибегаем, и Его не умоляем, и против

врагов ничего не замышляем, а все на произвол пускаем и сами же в своей земле и вере злое семя укореняем.

И еще скажу: «Ох, чем только нас Господь за бесчисленные грехи наши не смиряет, и каких только наказаний не посылает, и кому только нами владеть не повелевает!» Сами видите, кто он такой. Не человек, а неведомо кто! Ни царских родов, ни боярских чинов, ни из избранных ратников; говорят, — от смердовских рабов. Его же, окаянного и треклятого, за его злые дела следует называть не именем Стратилата, а именем Пилата, не во имя преподобного, но во имя неподобного, не во имя страстотерпца, но во имя землеедца, не по имени святителя, но по имени мучителя, и гонителя, и разорителя, и губителя веры христианской. И по известному его прозвищу также недостойно его называть во имя святого, а от названия людского нужного прохода — Афедронов. Таким именитым государством владеет и его, словно великое море, колеблет: что хочет, то и творит, и никто ему не возбранит!

А сами наши земледержцы и правители (ныне же, как я уже прежде сказал, — землесъедцы и кривители), те, словно ослепли или онемели, прямо сказать, ни один не смеет тому врагу ничего запретить и Великому государству ни в чем пособить. А иные молчат, не говорят и ни в чем ему не перечат, ибо вместе же с ним, врагом, всех нас погубить хотят. Целые полки людей всяких чинов за тем врагом следом ходят и милости и указаний его ждут. Не только простые и неименитые люди, но даже боярские и дворянские дети и сами дворяне, благородные и сановитые, иным из которых он, враг креста Христова и всех православных христиан, и в подметки негод.

А еще враг и лютей злодей наш не своим состоянием завладел. Как Ихнилат, в цареву ризницу пробрался, чтобы разорить и погубить ту великую царскую казну, что за многие годы многими государями-самодержцами, великими князьями и царями всея Руси была собрана и положена. Он же, окаянный, как выше упомянутый Ихнилат, в одночасье или же за недолгий срок все хочет извести, расточить и погубить, и оставить эту цареву ризницу вконец разоренной, словно пустой и ненужный дом. Да уже и оставил! И теперь эти великие сокровища, драгоценные камни, и одежды, и всякие вещи, что нам неведомы и нами невиданны, со своими единомышленниками разбирает и вещь к вещи прибирает, а также золото, серебро и жемчуг в большие сундуки насыпает и к тому вышеназванному супостату нашему, врагу-королю и похитителю, под тот обороняющий нас град посылает. А мыслят, окаянные, так в уме своем: если Божиим промыслом и вашим над ними, врагами, помыслом, благо для нас свершится, если здесь, у нас, Божией милостью их желание не сбудется, а доброе дело осуществится и над ними, врагами, победа объявится, а им, врагам, от нас убежать случится, то, чтобы им у своего сатаны положения своего не лишиться, и смерти бы от него не приключиться, можно было бы теми бесчисленными и драгоценными сокровищами с ним и примириться. Но если царство наше перед ними не выстоит, погибнет, — кто не восплачет, кто не возрыдает, кто не вздохнет?! Полагаю, что не только нашей православной веры и христианского рода православный христианин, но и иноверный из тех же врагов, кто хоть мало-мальски мягок и жалостлив сердцем, если не заплачет, то и он вздохнет и скажет: «Как же такая великая и прославленная во всех странах земля оказалась в разорении, такое Великое царство в запустении, а столь богатая царская ризница в расточении!»

А вы, православные, Богом почтенные, сжальтесь над собой, содрогнитесь сердцем, видя пред собой столь непереносимые бедствия и скорби, видя всегда перед глазами своими свою погибель и попрание веры нашей православной! Не отдавайте сами себя в руки врагов своих! Призвав в помощь Бога, и Пречистую его Матерь, великих чудотворцев, и всех святых, поднимайтесь на врагов своих! Может быть, Господь Бог наш Иисус Христос, наказав нас праведным своим гневом, да и помилует, и на них, врагов, победу даст, избавит и спасет нас от них. А они, злодеи наши и губители, одно замышляют против нас (как я уже и прежде вам говорил): хотят нас погубить, а оставшихся своей воле подчинить.

И тому, что в этом письме я рассказываю вам и пишу, верьте без всякого сомнения! А я, к их намерениям и замыслам прислушиваясь, помню свою православную веру и не хочу души своей грешной вконец погубить и в геенне быть. По ошибке своей и слабости, славой мира сего прельстился и к ним, врагам, прилепился, ради суетной славы и тленного богатства, как и прочая братия наша. Все мы, того ищущи, от того и погибли. Если бы того не искали, от Бога бы все не отпали, и душами и телом не пали бы, и не пропали. Ныне же я прозрел, что, следуя им, врагам креста Христова и губителям всех нас, православных христиан, перейдя в их богоотступную веру и не отстав от них, — быть в геенне огненной душой и телом. Явно же мне нельзя от них отстать и вам про это сказать. Даже единому кому-нибудь из вас втайне сказать боюсь: вдруг этот человек в мыслях своих поддастся искушению, не утерпит и вам скажет имя мое, а от вас разнесется и до них, врагов и губителей христианских, донесется; тогда меня, взяв, жестокой казни предадут. Я же у них ныне очень пожалован. Сами знаете, что все мы смерти боимся. И я, так же как и вы, имею жену и детей. Ежели мне самому доведется умереть, так на Господа надежда, что не умереть, но ожить за эту правду; иное же дело — жену и детей осиротить, по дворам пустить, а всего того горше, — на позор отдать. Вам же, православные, в ту пору ничего будет не сделать, ибо ныне верх взяли произвол и насилие врагов. Оттого-то я вам открыто и не решаюсь сказать и от них отстать, потому-то вам письмом и потрудился написать. Если Господь помилует всех нас, избавит нас от наших явных врагов и все будем живы, тогда известно вам будет и про нас, про грешных. А ежели и скажет вам кто-то, что я вам ныне враг и клеветник, то Господь видит сокровенное мое, что с вами же хочу жизнь свою отдать за православную веру и за святые Божии церкви. Ныне же, как я выше сказал, нужды ради не отстану от них.

А кто это письмо возьмет и прочтет, пусть бы его не таил, давал бы, осмотревшись и выведав, прочесть вкратце своей братии, православным христианам, тем, которые за православную веру хотят умереть, чтобы все им стало известно, а не утаено, но не тем, которые были ранее нашими братьями, православными христианами, а ныне всей душой, без раскаянья, отвернулись от христианства и во врагов наших превратились, с ними, врагами, соединились, вместе с ними вооружились и хотят нас вконец погубить, — тем бы его ни в коем случае не показывали и не давали читать. Да будет на вас всех, доброжелателей Российского царства, милость Божия и помощь Пречистой Богородицы и великих чудотворцев, которые у нас в Троице прославлены, и всех святых! Аминь.

### **Плач о пленении и конечном разорении Московского государства<sup>53</sup>**

#### **О произведении:**

*Автор «Плача» неизвестен. С. Ф. Платонов предполагает, что он не был очевидцем описываемых событий и широко использовал официальные грамоты 1610—1612 гг.; возникло это произведение летом—осенью 1612 г. в одном из провинциальных городов (Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. Изд. 2-е. СПб., 1913. С. 146). Вероятно, этим городом была Казань: текст «Плача» использован составителем так называемого «Казанского сказания» — компиляции, датируемой М. Н. Тихомировым теми же месяцами 1612 г., к которым С. Ф. Платонов относит создание «Плача» (см.: Тихомиров М. Н. Классовая борьба в России XVII в. М., 1969. С. 202); позднее, в 1620-е гг., он читался во время ежегодной праздничной службы иконе Казанской Богородицы. «Плач» рано получает общерусское распространение. В 30—40-е гг. XVII в. его сокращенная редакция включается в сборник, составленный жителем Устюга Великого (БАН, Арханг. К. 51), в 1672—1674 гг. входит в состав московской исторической компиляции о Смутном времени (ГИМ, собр. Уварова, № 896). В том же XVII в. «Плач» был присоединен в качестве заключительной главы к «Сказанию Авраамия Палицына».*

<sup>53</sup> Подготовка текста, перевод и комментарии С. К. Росовецкого

Для книжного плача, как и для устной причеты, рассказ об обстоятельствах несчастья — обязательный, но второстепенный элемент структуры; на первый план выходят в устном плаче — эмоциональный отклик, в литературном — осмысление причины бедствия, его исторического значения и назидание для читателей (слушателей). Следуя традиции, автор «Плача» объясняет «падение» Москвы как возмездие свыше за всенародные прегрешения, однако с замечательной смелостью объявляет главными виновниками всех московских царей, при этом исключение не сделано даже для Федора Ивановича, настойчиво идеализируемого другими писателями Смуты. Привлекает внимание и исторический оптимизм автора: по его мнению, «будущие предтекущие люди», узнав о бедствиях Смуты «от писания, о сихъ зѣло удивятся» — следовательно, будут жить потомки «нынѣшних родовъ» россиян в мире и процветании. Что же касается современников, то они побуждаются к покаянию, чтобы Бог «пощадил останок» русских людей, истребил их врагов и «злолукавыи совѣтъ ихъ искоренилъ». Можно думать, что прямой призыв к борьбе представлялся неуместным в плаче, да еще предназначенном для чтения в церкви, однако патриотически настроенный читатель мог и сам прочесть этот призыв между строк произведения, восхваляющего героизм защитников Смоленска и стойкость патриарха Гермогена.

«Плач» носит ярко выраженный риторический характер. Автор его широко использовал разнообразные источники (от Псалтыри до «Рыдания» Иоанна Евгеника о запустении Царьграда). Обращение к традициям высокого литературного красноречия Киевской Руси, оживление приемов «экспрессивно-эмоционального стиля» конца XIV—XV в. помогли талантливому писателю начала XVII в. реализовать свой острозлободневный, публицистический замысел.

«Плач» печатается по списку Центральной научной библиотеки АН Украины, собр. б. Киевского церковно-археологического музея, № 186 (старый № — 0. 1/4. 50), нач. XVIII в. (далее — Киевский сборник), л. 1—12. Эта же рукопись привлекалась при публикации памятника С. Ф. Платоновым (РИБ, т. 13. Изд. 2-е, доп. СПб., 1909, стлб. 219—234). Приняты некоторые из исправлений, сделанных первым издателем по списку ГПБ, собр. Погодина, № 1504, конец XVIII в., перенесены также единичные чтения из «Казанского сказания» (ГИМ, собр. Уварова, № 593, XVII в.) по указанной выше публикации М. Н. Тихомирова и списку ГБЛ, Муз. собр., № 2529, начало XVIII в.

Отрывок от слов «Обаче же во обычное моление...» и до «Начну же сице бесѣдовати...» (стр. 132—134 настоящего издания), представлявшийся С. Ф. Платонову безнадежно испорченным (РИБ, т. 13, стлб. 221—222), выправляем по смыслу. Все дополнения и исправления в тексте набраны курсивом.

ВЫПИСАНО ИЗ «СТЕПЕННОЙ КНИГИ». ЦАРСТВО ГОСУДАРЯ ЦАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВАСИЛИЯ ИОАННОВИЧА ШУЙСКОГО. МЕСЯЦА ОКТЯБРЯ В 22 ДЕНЬ. ПЛАЧ О ПЛЕНЕНИИ И О КОНЕЧНОМ РАЗОРЕНИИ ПРЕВЫСОКОГО И ПРЕСВЕТЛЕЙШЕГО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА. В ПОЛЬЗУ И В ПОУЧЕНИЕ СЛУШАЮЩИМ

Читается после кафизм это слово:

С чего начнем оплакивать, увы! такое падение преславной, ясносияющей, превеликой России? Какой источник наполнит пучину слез рыдания нашего и стонов? О, какие беды и горести довелось увидеть очам нашим! Молим внимающих нам: «О христоименитые люди, сыны света, чада церковные, порожденные банею бытия! Раскройте уши разума вашего и чувств, и составим сообща орган словесный, вострубим в трубу плачевную, возопим к «Живущему в неприступном свете», к «Царю царствующих и Господу господствующих», к херувимскому Владыке с горестью сердец наших, в грудь бия себя и восклицая: «Ох, увы! горе! Как обрушился такой столп благочестия, как разорен был богонасажденный виноградник, ветви которого многолиственной славою до облаков возносились и гроздь спелая всем в сладость неисчерпаемое вино источала? Кто из правоверных не заплачет или кто не возрыдает, видя гибель и окончательное падение столь многонародного государства, исполненного христианской святою верою греческого,

от Бога данного закона и сияющего, как солнце на тверди небесной, и блеском уподобляющегося янтарию? Многие годы создававшееся, сколь быстро поддалось разорению и всеядным огнем погублено было!»

Всем людям, угодным Христу, известна высота и слава Великой России, каким образом возвысилась и сколь страшна была басурманам, германцам и прочим народам. Преславное творение для видевших — построена была главная соборная церковь, и в ней живописные святые иконы, а еще столпы благочестия, и после смерти реки чудес православным изливающие! Какие были царские роскошные палаты, золотом внутри украшенные и красками многоцветными расписанные! Сколько сокровищниц чудными царскими венцами, пресветлыми царскими багряницами и порфирами, и драгоценными камнями, и всяким жемчугом многоценным были преисполнены! Какие были дома знатных — в две и в три кровли, богатством и честью кипящие! Пресветлым и предивным этим государством владели преславные великие цари, гордились им родовитые князья, и во всем, — дерзновенно сказать, — таким совершенным устройением оно отличалось, и светом, и славою всех превзошло, как невеста жениху на прекрасный брак уготованная!

Однако же прибегну к обычному молению. О Христос царь! О Спас и Слово Божие и Боже! Увы! О! О град, которым и в котором преславные возглашались Божии слова, глас великого царя и Бога! О Всечистая Богоматерь! Как же твой, высокоименитый и преславно царствующий град Москва, самой земли око, вселенной светлость, увы! угас? О Честной и Пречистой Владычицы нашей Богоматери град и наследие, в котором преславное, ярче солнца сияющее в преславном храме твоем подобие пречистого тела твоего, запечатленное пресветлым Лукою евангелистом твое изображение с превечным твоим младенцем, Богом нашим, на руках твоих, милосердие излучающее, будто пресветлая заря, и исцеления всем изобильно дарящее! О! О, в нем ведь великое и всевоспетое пречестное твое имя с сыном твоим Господом Богом нашим и Спасом Иисусом Христом ангелоподобно и благоговейно всегда воспеваемо и славимо! О над всеми царица, Богородица и госпожа всего сущего, выше слова освященная, превыше мысли несомненная Богородительница и сверх естества Приснодева и Мать! Увы! Как, единственная спасительница и всегдашняя охранительница, нас оставила? От каких только бедствий и осад прежде не избавлявшая нас, ныне же почему, милостивая, не помогла? Или — как это, прежде всего заступница, ныне же, ради себя и образа своего, как не спасла людей того же племени? И как затворили мы чрево человеколюбия твоего или, — что и помыслить трудно, — соборную церковь, которая на земле небом солнцезобразно в поднебесной сияла и была как второй рай для православных благочестия ради? Беды изведала, разорение и запустение, а в ней ведь со вселенскими святыми отцами — увы, о! — священные таинства совершались о спасении всего мира! И красота пения в Троице восславляемому Богу, о! и икон святых чудотворных на землю ныне бросаемых и попираемых и от своих украшений со смехом отторгнутых! О! Доныне были почитаемы и неприкосновенны те, которые приняли на себя ангельский образ иночества, а ныне сколько их пострадало от гнусных убийц, сколько осквернено чистых девственниц и множеством пленников чужие земли наполнены! Увы, могущественные князья и бояре наши и все христоролюбивые люди повсюду по-разному попусшением Божиим от иноплемеников и в междоусобной брани без счета пали, кровью же их насытились оковы и секиры и прочее оружие, и вместе с невинными младенцами горько погибли они различными смертями! О, как о том помыслить и как заговорить о том, что у нас содеялось и ныне совершается промыслом Божиим за неправды, и за гордыню, и за вымогательство, и за коварство, и за прочие злые дела, о коих с плачем вещают пророки: «О лукавая злоба, откуда излилась, чтобы покрыть землю? „Но за ложь их подверг ты их бедствиям и низложил, когда возгордились они. Почему постигло их разорение? Внезапно пропали и погибли за беззакония свои, будто сны пробудившегося”. Ибо исчезли благоговейные с лица земли, ибо правда в людях оскудела и воцарилась неправда, и всяческая злоба, и ненависть, и безмерное пьянство, и блуд, и ненасытное стяжательство, и ненависть к братьям своим умножилась, ибо оскудела доброта и обнажилась злоба, и

покрылись мы ложью. „Хоть и навел я на вас запустение, и саранчу, и гусениц, и голод, и пленение, и всякое зло, злобы вашей не отринул от вас”. И после всего этого не отвратилась ярость Его, но еще рука Его высока».

Как не ужаснись, как твоему, Христос, не удивлюсь долготерпению! О христоименный род, как лист и цвет уже опалый, горькой всемирной жертвы принявший чашу неразбавленного праведного гнева! Увы! О небо, как ты не потряслось, и земля не поколебалась, и солнце не померкло, это видя? как вытерпело, такую увидев всенародную гибель? как еще не устыдилось такого бедствия и в недрах земных безвестию себя не предало, и все во тьме не оставило, как было в полдень при Спасовом мучении? О, «кто даст голове моей воду и глазам моим источник горьких слез» неисчерпаемых, чтобы оплакать дочь нового Сиона — преславноцарствующий наш град Москву, подобно многоскорбящему пророку, который в древности оплакивал беды Иерусалима? Итак, перст на уста свои налагаю, в бездну смиренномудрия себя низвергая и ожидая свыше, как и подобает после сокрушения, божественного утешения, о чем Создавший солнце над нами сказал: «Если поражу, снова исцелю», ибо «не до конца гневается и не вовеки негодует» человеколюбивый наш Господь Бог.

Начну же так короткую свою беседу с богоизбранным стадом, со словесными овцами незлобивого пастыря Спаса Христа.

Вот отчего пала превысокая Россия и разрушился столь крепкий столп. Цари, в нем жившие, вместо к Богу возводящей лестницы спасительных слов, кои рождаются от содержащихся в книгах истин, приняли богоненавистные дары: бесовские козни, волшебство и чародейство. И вместо духовных людей и сынов света возлюбили детей сатаны, которые уведят от Бога и несомненного света во тьму. И не позволяли слуху разума своего воспринимать слова правдивые, однако, ненависти ради, клевету на знатных слышали ясно и кровь множества народа из-за нее, как реку, пролили. И вместо непобедимого скипетра богоподражательных кротости и правды возлюбили гордость и злобу, из-за которой и тот, что прежде был пресветел, как утренняя заря, с превысочайшего неба низвергся и ангельской светлости и славы лишился. К тому же от великих знатных людей, от премудрых и до простолюдинов, — и короче говоря, — от главы и до ног все неисцелимыми струпьями опоясались и Содомы и Гоморры и прочими бесовскими бесчисленными язвами покрылись. И за то вначале голодом, обуздания ради, были наказаны Богом — но нимало не обратились с пути погибели на путь спасения.

После того такая кара и гнев такой воздвиглись, какие немало удивления, более того, и слез достойны. И ни одна ведь книга апостольская, ни жития святых, и ни философские, ни царственные книги, ни хронографы, ни летописи, и никакие другие книги не поведали нам о такой казни ни над одной монархией, ни над царством или княжеством, какая совершилась над превысочайшею Россией!

Явился предтеча богоборного Антихриста, сын тьмы, родич погибели, из чина иноческого и дьяконского и вначале светлый ангельский чин отринул и отторгнул себя от участи христианской, как Иуда из пречистого сонма апостольского. И бежал в Польшу и там скрижали сердца своего бесчисленными богомерзкими ересями наполнил и, тьмообразную свою душу еще больше предавая в руки сатаны, вместо святой христианской веры греческого закона лютеранскую треокайнную веру возлюбил. И бесстыдно назвал себя царем Димитрием, вечнопамятного царя Ивана сыном, утверждая, что избежал рук убийц. И попросил помощи у литовского короля, чтобы идти с воинством на Великую Россию. Король же польский и паны — рада его, и кардиналы, и архиепископы их, и епископы много радовались о том, что меч поднялся на кровь христианскую, поскольку нет никогда ничего общего ни у тьмы со светом, ни у Велиара с Христом. И дали этому окаянному в помощь литовские войска, и дерзнул бесстыдно прийти в пределы Московского государства, в грады Северские, назвав себя царем Димитрием. Жители же той стороны соблазнились суетной мыслью и обезумели умом, и малодушием перевязались, и как истинного царя приняли его, и подняли меч против

братьев своих, христовых воинов. И, как реки, пролилась с обеих сторон христианская кровь, — грехов ради наших разлился Божий превеликий гнев, его же праведным судам сопротивление невозможно, вот и попустил этому окаянному царствовать в великой России. Когда же принял скипетр и царский престол, многие из жителей царствующего града и окрестных городов и сел безошибочно узнали в нем врага креста Христова расстригу Гришку Отрепьева, а не царевича Димитрия, однако, страшась бесчисленных смертоносных пыток, не смели разоблачить его, но тайно о нем в уши христиан нашептывали.

Тот же окаянный каких только бед и злобы не обрушил на Великую Россию! Святителей, над отцами начальствующих, свергнул, многих пастырей и наставников от паствы отлучил, много крови христианской пролил и, не насытившись таким бесовским ядом, взял себе в жены лютеранской веры девку Маринку. И, не устыдившись нимало и не убоявшись бессмертного Бога, ввел ее, некрещеную, в соборную апостольскую церковь Пресвятой Богородицы и венчал ее царским венцом. И хотел после этого разорить православную христианскую веру и святые церкви, завести костелы латинские и установить лютеранскую веру.

Премилостивый же наш триединый Бог не до конца позволил этому врагу изливать всезлобный яд и вскоре расстроил бесовские его козни. И душа его мучительно исторглась из него, и позорную смерть принял от руки правоверных. После же его, окаянного, смерти все жители Великой России надеялись, что не только в нынешние времена такие соблазны искоренятся, но и те из будущих наших потомков, кто узнает из книг об этом, очень удивятся, и что подобных вражеских козней больше не будет. Грехов же ради наших, всего православного христианства, опять под тем же именем царя Димитрия иной враг явился и прельстил малоумных и безумных, одержимых пьянством людей той же стороны, и все ту же преждеупомянутую Маринку-блудницу взял к себе на ложе, и собрал войско на богобоязненного и святым елеем помазанного царя и великого князя Василия Ивановича всея России, который был от корня святого благоверного великого князя Александра Ярославича Невского.

К злочестивому его замыслу присоединился король литовский и послал бесояростное свое воинство. И многие города и села разорил, и святые великие лавры разрушил, и нетленные после успения почитаемые тела святых из благоговейно устроенных гробниц изверг и последнему поруганию предал. И бесчисленное множество православных были преданы мечу, и потоки крови пролились. И не из-за одного этого ненасытного кровопролития великодержавная Россия в погибель впала, но множество явилось врагов, и неисчислимые обрушились на нее несчастья. И многие из грабителей и ненасытных кровопийц царями объявляли себя и различные имена себе брали: один назовется Петром, другой Иваном по прозванию Август, иной Лаврентием, иной Гурием. И из-за них также много пролилось крови и бессчетное число знатных скончалось от меча. Но и их всех превысокая Божия десница победила, и мимолетная пребедственная их слава, как дым, рассеялась и, как пыль, рассыпалась. Но все-таки оскудели многие города и села, и бессчетно полегло предобрых воинов Христовых.

В это же время поднялся на православную христианскую веру нечестивый литовский король и воздвиг великую ярость и злобу. Пришел он в пределы Московского государства под град Смоленск и многие города и села разорил, церкви и монастыри разрушил. Живущие же во граде Смоленске благочестивые люди решились лучше в мученических страданиях умереть, нежели в лютеранство уклониться, и многие от голода погибли и насильственную смерть приняли. И захвачен был город нечестивым королем. И кто не исполнится слез и жалости о таком падении? Много святых церквей и монастырей было разорено, без числа православных скончалось от меча, не покорившись и не пойдя на присоединение к беззаконным, многие пали духом и были захвачены в плен! Когда же этот ненасытный кровопийца, польский и литовский король, был под градом Смоленском, тогда враг креста Христова, который царем Димитрием себя называл, стоял под

царствующим градом Москвой с проклятыми литовцами. Многие и из русских людей из-за малодушия своего, ради лихоимства и грабежей, к нему присоединились и так же кровь христианскую, как воду, проливали.

К тому же поднялись на православную христианскую веру домашние враги: из царского двора Михайло Салтыков, из рода купеческого Федька Андронов и иные с ними, которых множества их ради не называю. И ради мимолетной суетной земной славы лишили себя будущей бесконечной жизни и вечного блаженства. И согласились быть послами к злочестивому королю, будто бы от царствующего града, просить королевского сына в Великую Россию государем. И составили злодейский заговор, и посланиями королевскими и своими предательскими речами прельстили царствующий град Москву, обещая посадить королевича после крещения на царский престол в Великой России. И побудили короля послать злоростного и бесодержостного гетмана с войском, и много пролили христианской крови, и пришли с ним под царствующий град Москву.

А тот последователь Антихриста, что назвался царем Димитрием, по лукавому совету треклятого воинства литовского начал многие местности всеядным огнем истреблять и насилие великое творить царствующему граду. Люди же, живущие в Великой России, не поняли враждебного лукавства королевского, захотели принять королевича царем в Московское государство. И простоты ради своей и из-за несовершенства ума Богом избранного царя свергнули с престола, и от царства отлучили, и в иноческий чин насильно облекли, и к королю под Смоленск отослали, и гетмана польского и литовского с войском его впустили в царствующий град Москву.

Непоколебимый же столп благочестия, предивный радетель христианской веры, крепкий твердый алмаз, человеколюбивый отец, премудрый священноначальник, святейший Гермоген патриарх, видя, что люди Божии в Великой России в большом смятении и совсем погибают, много поучал их и, наставляя как поступать, говорил: «Чада паствы моей, прислушайтесь к словам моим! Зачем понапрасну впадаете в смятение и вверяете свои души неверным полякам? Возможно ли для вас, разумных овец, приобщение к злохищным волкам: вы кротки во имя Христа, эти же дерзостны во имя сатаны. Сами ведь знаете, что издавна православная наша христианская вера греческого закона ненавистна иноплеменным странам! Как же мы можем примириться с иноплеменниками этими? Лучше бы вам о том подумать, как со слезами и с рыданием всенародно, с женами и детьми, прибегнуть к неотсекаемой надежде, ко всемилостивому в Троице славимому Богу и просить милости и щедрот у прещедрой Его десницы, да одарит вас разумом благим, чтобы получили пользу душам своим, а царствующему граду и окрестным городам принесли успокоение, а не мятеж!»

Одни из православных христиан сладостно прислушались к благим его речам, иные же многие, охваченные суетными помыслами, выступили против дивного своего пастыря с неподобающими речами. А нечестивые польские и литовские люди коварством проникли в царствующий и преименитый град Москву, прокрались, подобно губительным волкам, в ограду Христова стада и много насилия начали творить над православными христианами и внутри царствующего града устроили костелы.

Затем же — горе, горе! увы, увы! ох, ох! — свершилось огромное несчастье, и многомятежная буря поднялась, реки крови пролились! Люди правочестные, те, что не видели этого Великой России разорения, приблизьтесь, да поведаю вкратце боголюбезному вашему слуху о падении и последнем разорении такого превысокого и славой превознесенного царства.

Когда эти губительные волки в царствующий град Москву водворились, то не сразу яд злобы своей излили, а, поджидая удобного времени, советовались с предателями христианской веры и врагами Московского государства, с Михаилом Салтыковым да Федькой Андроновым о том, как разорить царствующий град Москву и пролить кровь христианскую. И когда совершился злочестивый их заговор, окаянные приготовили дерзкобесовские свои руки и задумали растерзать оружием Христовых овец, и поглотить

виноград, и сокрушить сам город, чтобы погасить славу христоименитого царствующего града.

Когда же пришло время святого Великого поста и настала Страстная неделя, приготовились окаянные поляки и немцы, которые вошли с ними в царствующий град, к нечестивой резне и жестокосердно, как львы, устремились, поджегши сначала во многих местах святые церкви и дома, подняли потом меч на православных христиан и начали без милости убивать народ христианский. И пролили, как воду, кровь неповинных, и трупы мертвых покрыли землю. И обагрилось все многонародною кровью, и всеядным огнем истребили все святые церкви и монастыри, и укрепления, и дома, каменные же церкви разграбили и прекрасные иконы Владыки и Богоматери Его и святых угодников Его с установленных мест повергли на землю и бесчисленной добычей, всяческими предорогими вещами, свои руки наполнили. И расхитили сокровища царские, в течение многих лет собранные, на которые и глядеть таким, как они, не годилось бы! И гробницу блаженного и исцеления приносящего тела великого Василия, Христа ради юродивого, рассекли на многие части; и ложе, что было под гробницей, с места сдвинули; а на том месте, где лежит блаженное его тело, для коней стойла устроили и, похотев обличьем на женщин, бесстыдно и бесстрашно в церкви этого святого блудную мерзость творят. Неповинно же убиенных правоверных христиан и погребения не удостоили, но в реку тела всех их побросали. И опозорили многих женщин и дев растлили; из тех же, кто избежал их рук, многие на дорогах скончались от мороза, голода и различных невзгод.

И кто из христиан не преисполнится плача и рыдания? Кто не ужаснется, услышав о такой скорби и печали родной по духу братии своей? Кто не наставится столькими бедами, не о богатствах своих скорбя, но о разорении святых церквей и о погибели столпа благочестия, о святой христианской вере рыдая? О благочестивые, хриstopодражательные, любви исполненные люди! Приклоните уши ваши, и примем страх Божий в сердца свои и начнем просить милости у всещедрого Бога с неутешными слезами и вздохами и стенанием! Отяжелевшее бремя грехов наших покаянием и милостынями и прочими благими деяниями рассыпем, дабы премилостивый Бог наш человеколюбия ради своего пощадил остаток рода христианского и устранил от нас врагов наших и злолукавый заговор их уничтожил, и остаток бы российских царств, городов и деревень миром оградил и всякою благодатью наполнил. И не предаст нас врагам в расхищение и в плен, милостив ведь и человеколюбив Бог наш: на покаявшихся в любое время пучину милосердия своего изливает и, по Писанию, — «не до конца гневается, и не вовеки негодует», но удилами и уздою, то есть скорбями и бедами, испытывает нас, чтобы стали мы детьми света и жителями небесного Иерусалима и насладились бесконечной будущей жизнью и небесными благами. Да будет всему разумному стаду, Великой России православным христианам, во имя Христа мир.

## **Повесть о чудесном видении в Нижнем Новгороде**<sup>54</sup>

### **О произведении:**

*«Повесть о чудесном видении в Нижнем Новгороде» относится к периоду польско-литовской интервенции, когда патриотическое воодушевление охватило все слои русского общества. Случившееся «видение» в повести датируется 26 мая 1611 г., сама повесть написана не позднее лета этого же года, до того времени, как по Руси распространилась весть о захвате шведскими войсками Новгорода Великого. Как сообщает «Новый летописец», список нижегородского видения появился под Москвой и в войсках Первого ополчения в 1611—1612 гг., однако «в Нижнем... мужа Григория такова не знаху» (ПСРЛ. М., 1965. Т. 14. С. 116). В отписке сольвычегодцев пермичам (октябрь 1611 г.), к которой приложен один из списков повести (РГБ, Эрм. собр., № 358, список XIX в.), значит, что повесть распространялась «из Ярославля и из иных городов», Нижний*

<sup>54</sup> Подготовка текста, перевод и комментарии Н. В. Савельевой

Новгород не назван. Тем не менее то, что описываемое видение случилось в Нижнем Новгороде, очевидно, не случайно; именно Нижний принял активное участие в создании Первого ополчения. По мнению исследователя повести Я. Г. Солодкина, «Повесть о чудесном видении в Нижнем Новгороде» нужно рассматривать не только как свидетельство стремления русского общества избавиться от нашествия на Россию бед путем нравственного очищения и покаяния (см.: Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 158), но и как агитационное произведение, основная цель которого — предотвратить самовольное избрание нежелательного царя (см.: Солодкин Я. Г. Григорий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1. С. 234; такая же точка зрения высказана в работе: Кушева Е. Н. Из истории публицистики Смутного времени XVII века // Уч. зап. Саратовского гос. ун-та. Т. 5. Саратов, 1926. С. 43). Успешными действиями Первого ополчения объясняется, как считает Я. Г. Солодкин, оптимистический характер повести: предвидя скорое освобождение Москвы, автор ее стремился призвать к всенародному избранию нового царя.

Повесть сохранилась в трех списках, представляющих две редакции текста. По мнению Я. Г. Солодкина, первоначальную редакцию содержит список, присоединенный к отписке сольвычегодцев пермичам (Эрм. собр., № 358). Список дефектный, его части в сборнике настолько перемешаны, что С. Ф. Платонов, впервые опубликовавший Эрм. список (РИБ, 13, стлб. 235—240), высказывал сомнения в верном прочтении текста. Эту редакцию повести Я. Г. Солодкин, основываясь на заключительных словах «Аз я, многогрешный Григорий, виде видение се в Нижнем Новеграде» и на том, что повествование в ней ведется от первого лица, считает принадлежавшей самому Григорию. Другой точки зрения придерживается Е. Н. Кушева, считая первоначальной редакцию, представленную двумя списками (в том числе самым ранним СПб ФИРИ, собр. Н. П. Лихачева (колл. 238), оп. 1, № 11, л. 38—44 об.; 1 четв. XVII в. Список был впервые опубликован С. Ф. Платоновым во втором издании 13-го тома РИБ, стб. 951—956). Именно эта редакция завершается призывом распространять списки повести по всей России.

«Повесть о чудесном видении в Нижнем Новгороде» была популярна в XVII в., с ней были знакомы составители Нового и Пискаревского летописцев, краткий пересказ повести помещен в Пинежском летописце, она была использована при составлении «Повести о избавлении града Устюга Великого от безбожные литвы и от черкас, как с Двины шли». Однако после окончания Смуты повесть утрачивает свое острое политическое значение, свою актуальность, чем, по мнению Я. Г. Солодкина, и объясняется малочисленность ее списков.

Текст повести публикуется по списку из собрания Н. П. Лихачева. (СПб. ФИРИ, колл. 238, оп. 1, № 11, л. 38—44 об.).

Поведал нам некий человек по имени Григорий:

«В нынешнем в 119<1611> году, месяца мая в 26 день, на память святого апостола Карпа, одного из семидесяти, в пост святых апостолов Петра и Павла, когда отговел я первую неделю поста, в ночь перед воскресением Христовым спал я в храме и внезапно увидел в тонком сне:

Во время утренней службы поднялся покров, то есть крыша, и раздвинулся храм на все четыре стороны. И увидел Григорий свет великий, месяц и звезды, с неба сходящие; и видел будто бы человека, в образе человеческого птицу крылатую: и летела она надо мной, и голосом <своим> оглашала землю, и весь мир исполнила Духом своим Святым. И внезапно увидел я человека, с правой стороны от меня стоящего в белых одеждах и говорящего так: „Господи, не покараешь ли человека этого?“ — Он же ответил: „Не покараю“. — И сказал ему предстоящий: „Море, и реки, и всю тварь покрывающий!“ — Он же ответил ему: „Давно у меня покрыто небо небом“. И сел, будто человек, спустился и сел на грудь ко мне. — И сказал ему предстоящий: „Господи, покажи ему знамение“. Он же распахнул недра свои и показал ему знамение, крест свой честной, и мне поведал, грешному: „Верь сему, я суть Отец твой и Бог“. — И сказал ему предстоящий: „Господи,

покажи ему знамение для уверения". — Он же сел на груди моей, осенил себя крестным знаменем и сказал ему: „Веруй во единого Бога Отца и Святую Троицу”.

И говорил он мне, грешному: „Поверь мне и возвести обо мне в городе этом, чтобы приняли пост и молитву”. — И сказал ему предстоящий: „Будет здесь, в Российском государстве, собираться собор — власти <духовные>, архимандриты, и игумены, и протопопы, и дьяконы, и всякого чина <священство> — и будут они взывать к твоему человеколюбию; простишь ли ты их?” — Он же ответил ему: „Если покаются и постятся будут, и молиться будут три дня и три ночи, не евши и не пивши, старые и молодые, — и тогда я отведу от них свой праведный гнев. Если кто стар очень или младенец, таковым не запрещаю <есть и пить>; если же умрет кто в эти три дня, то я возведу его в Царствие Небесное”. — И спросил его предстоящий: „В какие три дня ты повелеваешь поститься?” — Он же ответил ему: „В понедельник, и во вторник, и в среду”. — „Господи, в одном ли городе повелеваешь ты поститься или не в одном?” — Он же ответил: „Не только в одном городе, но во всем Российском государстве. Если начнут поститься и от всякого зла отступят: от разбоя, и от воровства, и от пьянства, и от блуда, и от жизни неправедной, то я наполню их и напитая Духом своим Святым; да еще если воздвигнут храм во имя мое и Матери моей в Московском государстве, и его собором Московским и всем вселенским освятят”. — И сказал ему предстоящий: „Господи, ты повелеваешь храм воздвигнуть во имя свое и Матери своей в Московском государстве, а ныне ведь Московское государство врагами наполнено”. — Он же ответил ему: „Покуда собирается собор вселенский, я для них Московское государство очищу Духом своим Святым; а если храм во имя мое воздвигнут и Матери моей, то снизойдет на них милость Божия, и отведу я от них свой праведный гнев, и возведу их в Царствие Небесное”. — И спросил его предстоящий: „Господи, где повелеваешь и в каком месте храм во имя твое воздвигнуть?” — Он же ответил ему: „На Пожаре поставьте около Василия Блаженного. Да пусть еще принесут икону — образ Пречистой Богородицы Матери моей Владимирской в Московское государство и поставят на престоле в освященном храме, да свечу бы поставили незажженную, а воску бы <для нее> взяли из соборной церкви, да бумагу положили бы неисписанную в той же церкви”. — И спросил его предстоящий: „Господи, если поставят свечу незажженную и положат бумагу неисписанную, то кому ты царем повелишь быть и властвовать в Московском государстве?” — Он же отвечал ему: „Как завершится вселенский собор, и как храм освятят, и как отпостятся три дня и три ночи, а на четвертый день придут к образу моему и Матери моей Богородицы, тогда свеча будет зажжена от огня небесного, и колокола зазвонят сами по себе, а на бумаге будет имя написано, кому владеть Московским государством, а быть царю по сердцу моему. Да еще если в этом городе, в Нижнем, начнут молиться три дня и три ночи и придут в соборную церковь, благо будет городу этому, если помолятся”. — И спросил его предстоящий: „Господи, если не послушают слова твоего и не поверят явлению этому, что тогда будет им?” — Он же ответил: „Если не послушают и не будут верить явлению этому, то я Духом своим Святым потоплю Московское государство, и весь мир не пощажу: ни стара, ни млада за неверие их, и все Российское государство”.

Предстоящий же прослезился и наклонился ко мне, грешному, и говорил мне: „Послушай слова эти, и поведай всему миру, и не бойся!” <Господь> же сказал с гневом великим: „Если помолятся Мать моя Пречистая Богородица и все святые отцы и умолят меня, то я, молитв их ради, пощажу половину Российского государства, а другую половину не пощажу: ни стара, ни млада за неверие их. А если не переменятся и не поверят этому моему явлению, или если ты не поведаешь всему миру, или городу этому, и если отвергнут это мое явление и не пошлют в Московское государство и во иные города, то я над городом этим волю свою сотворю”. — И спросил его предстоящий: „Господи, если не поведают этого явления, не покараешь ли ты город этот и человека этого?” — Он же ответил ему: „Не покараю я ни города этого, ни человека этого, но покажу им знамение за неверие их”. — И спросил его предстоящий: „Господи, какое знамение это будет?” — Он

же сказал: „Подниму бурю и волны из реки Волги, и потоплю суда с хлебом и с солью, и поломаю деревья и дома большие”. — И спросил его предстоящий: „Господи, в какой день будет знамение?” — Он же ответил ему: „В день воскресный будет знамение это”. — И спросил его предстоящий: „Господи, утром ли или вечером?” — Он же ответил ему: „В последнем часе дня, когда солнце на закат пойдет”. И когда уходил он от меня, сказал мне так: „Если сотворят волю мою и послушают меня во всем, то будет им от меня на небесах Царство Небесное и на земле милость и мир вечный”. Аминь».

Списывали бы с грамоты этой списки и рассылали бы скоро в мир, во все концы.

## **Псковская летописная повесть о Смутном времени**<sup>55</sup>

### **О произведении:**

*Псковская повесть о Смутном времени интересна непосредственной и живой реакцией на события начала XVII в. Псков не был в эпицентре событий и в сложной политической борьбе этого времени занимал независимую позицию. Псковичи сами решали, кому присягать и кого признавать, кого из новых претендентов на царский стол поддерживать. Однозначно позицию псковичей оценить невозможно, она была противоречивой и осложнялась внутренней борьбой между различными социальными группировками в самом Пскове. Следует отметить, однако, что в это смутное время Псков был почти единственным городом, который не шел ни на какие соглашения с иноземцами, претендовавшими на политическое господство. Псковичи защищали свои земли от отрядов Лисовского, в течение нескольких лет вели постоянную борьбу со шведами, оккупировавшими Новгород, они отказались присягать польскому королевичу Владиславу, ставленнику московского боярства.*

*Текст издается по рукописи СПб. ФИРИ, собр. Археографической комиссии, № 252.*

О СМУТЕ И РАЗДОРАХ И ОТСТУПНИЧЕСТВЕ ПСКОВИЧЕЙ ОТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, И КАКИЕ БЫЛИ ПОТОМ В ГРАДЕ ПСКОВЕ БЕДЫ И НАПАСТИ ОТ НАШЕСТВИЯ И ЗАВОЕВАНИЯ ПОГАНЬМИ, ПОЖАР И ГОЛОД; И ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ НЕСЧАСТЬЯ ЭТИ И В КАКОЕ ВРЕМЯ

В год 7115-й (1606) был убит в Москве лжецарь, назвавший себя Дмитрием; благодаря молитвам Пречистой Богородицы и великих чудотворцев не допустил Бог уничтожения христианской веры и обращения церкви в латинство, как замыслил то окаянный; только одно лето был он царем и вскоре был убит. И после него сел на царство князь Василий Шуйский, и отпустил царицу Маринку, преступную литовку, вместе с литовцами в их землю, и повелел проводить их до границы. И пришли они в Северские земли, и присоединились к ним русские люди, и заняли города, и нашли себе опять лжецаря. И царь Василий много раз посылал на них войска и сам ходил, но безуспешно; взволновались люди и соблазнились <то Бог допустил за грехи наши>; пришли даже к царствующему граду и осадили его; и был голод сильный, и ниоткуда не ждали помощи.

И послал царь племянника своего, князя Михаила Скопина, в Новгород, и послал его за море нанять немцев на помощь себе в войне с Литвой. В то же время, в августе месяце, в псковских пригородах появились крамольные грамоты от вора из-под Москвы на прельщение малодушных, и соблазнились люди, и начали ему крест целовать. Тогда же вскоре преставился епископ Геннадий от горя, услышав о таком соблазне. Также и в Пскове взволновались люди, услышав о том, что от лжецаря идет кто-то с небольшим войском. Воеводы же, увидев такое волнение народа, долго успокаивали его, но не смогли остановить. Тогда народ схватил лучших людей, купцов и бросил их в темницу, воеводы же послали в Новгород с просьбой прислать в Псков войско на помощь. В это же время некто враг креста Христова пустил слух, что немцы идут в Псков; и слышали прежде, что послал царь за немцами, но те еще не пришли из-за моря в Новгород. И тогда в народе стали кричать какие-то мятежники, что немцы уже пришли от Ивангорода к мосту на

---

55 Подготовка текста, перевод и комментарии В. И. Охотниковой

Великой реке. И тотчас все поднялись и схватили воевод, посадили в темницу, а сами послали за воровским воеводой Федькой Плещеевым, и целовали крест вору, и начали жить по своей воле, и отошли от Московского государства, и подчинились лжецарю, и обезумели, живя по своей воле, и в жадности разгорелись страстью к чужому богатству.

В ту же осень пришли от вора в Псков, как от сатаны бесы, из войска его мучители, и убийцы, и грабители, рассказав малоумным о его могуществе и власти; те же окаянные восхвалили преступное и греховное правление его и начали хвалиться перед ним своим усердием к вору, как они жаждали ему покориться. И наговорили на тех боголюбцев и страдальцев, которые не захотели преклонить колени пред Ваалом, то есть предтечей антихриста, — на городских правителей и знатных мужей города, которые были посажены в темницу. И взяли те злые лютые звери их из темницы, насильственной смерти предали, одних на кол посадили, другим головы отсекли, остальных разными муками замучили и имущество их забрали, боярина же Петра Никитича Шереметева в темнице удавили. И на владычном дворе, и в монастырях, и у правителей городских, и у купцов все богатства забрав, уехали под Москву к своему лжецарю и там впоследствии своими же были убиты.

И прислал лжецарь в Псков новых своих воевод, пана Андрея Тронянова Порецкого Белорусца, и пана Лютора Побединского, да дьяка Крика Тенкина; но те ничего злого в городе не сделали и, недолго побыв, уехали.

И потом приехал князь Александр Жировой Засекин. При нем разразился гнев Божий на славный град Псков в наказание, чтобы отошли от своеволия своего и раздоров: месяца мая в 15 день, в 6-м часу, загорелось на Полонище у Успенского монастыря, когда готовили пищу во дворе, и сбежались люди, и погасили огонь. Начали расходиться по домам, и вдруг неожиданно загорелось снова. И в этот миг поднялась буря великая, сильный ветер с юга, и понесло огонь к площади, и не смогли его укротить ничем, и побежали все каждый в свой дом. И потом загорелось Печерское подворье, и неожиданно загорелся верх у церкви преподобного Варлаама на Запсковье, и оттуда подул сильный северный ветер, и загорелся весь город и пороховые склады, и порохом взорвало стены Кремля с двух сторон. И до ночи весь город выжгло, и много людей побил камнями и пожгло, осталось только 2 монастыря — Николая чудотворца в Песках, да напротив него, за рекой, Козьмы и Демьяна на Гремячей горе; и в соборном храме сохранил Бог только гробницу благоверного князя Довмонта, а остальное все сгорело.

Псковский же народ, чернь и стрельцы, не испугавшись того Божиего гнева, начали чужое добро грабить у знатных людей и, дьяволом подстрекаемые, говорили так: «Бояре и купцы город зажгли!» И во время самого пожара начали камнями их выгонять, они же побежали из города. И утром, собравшись, они начали хватать знатных дворян и купцов, мучить и казнить и в темницы сажать неповинных из числа правителей города и людей церковного сана, безумные, говоря: «Вы город зажгли и погубили, нашего царя не желая». А все это окаянные мятежники и главари иудейского сборища затеяли против добрых людей, чтобы богатства их взять. А буйная толпа слепо следовала их примеру и кричала, и тогда много крови неповинной пролилось в городе, целыми днями мучили окаянные.

Услышали воины в Великом Новгороде о попушенье Божиим на Псков, о пожаре, и вскоре пришел атаман Тимофей Шаров с казаками и не осмелился внезапно напасть на город. А в городе тогда не было ни орудий, ни пороха, да и ручного оружия было мало, но, заострив колья, выходили из города. И много горожан побили новгородцы, преследовали их до города, а в город не дерзнули войти, ибо был город велик и людей в нем множество, а их немного тогда было, человек триста.

Псковичи же, словно вторые иудеи, разъярившись, вытащили из темницы добрых людей, жестоко их мучили, говоря: «Вы призвали на нас новгородцев». Новгородцы же спалили посад на Завеличье и ушли.

В тот же год, месяца августа в 18-й день, враги креста Христова взяли из темницы купца Алексея Семенова, сына Хозина, и долго мучили жестоко, и повели его из города на казнь. Тогда же некие христороубцы услышали в торговых рядах о такой свирепости мятежников

и кровопролитиях, взяли свое оружие и сказали сами себе: «Если ныне не поднимемся на врагов своих и мучителей, то они всех добрых мужей города погубят». И, вскричав, пошли на них, и разогнали буйную толпу, и побили главарей сборища, иных казнили, а стрельцов выгнали из города. Услышали же те окаянные, которые повели на казнь Алексея, что поднялись против них горожане, и вот прибежал какой-то безбожник стрелец и у самых городских ворот отсек неповинную голову праведного Алексея. А после того как были разогнаны враги, всех освободили и воздали хвалу Богу о том.

В 118 (1610) году, в масленичное заговенье, были присланы из Великого Новгорода два стрельца с грамотой от царя Василия, чтобы псковичи вновь возвратились под власть Московского государства, и воссоединились, и вместе бы поднялись на смутьянов и на литовцев. Правители города и знатные мужи захотели подчиниться власти и воссоединиться и хотели сразу же крест целовать, но по вражьему навету не нашли в казне прежней записи, по которой крест целовать.

И вновь тогда начались несчастья горше первых: побежали по всему городу мятежники и развратители, прежде названные главари, крикуны, кровопийцы, мучающие незаконно, расхищающие чужие богатства и не желающие подчиняться властям; и, рыская по городу, они кричали таким же невеждам и смердам, стоящим на перекрестках и площадях, что правители города и лучшие люди, дворяне и купцы, монахи и попы, и все белые люди хотят крест целовать и мстить за свои обиды, которые мы им причинили, и крест целовали московскому царю Василию.

Они же, буйная толпа, малодушные и неразумные, поднялись с оружием на своих же и послали за город, за Великую реку, в слободу стрелецкую за стрельцами; и те пошли к ним в город, ибо после убийства Алексея Хозина стрельцы за их предательство из города были изгнаны, и в город их до сего времени не пускали. Правители же города, и купцы, и дворяне, некоторые из знатных людей города, увидев смятение народа и злые его помыслы, бежали из города с наступлением вечера к Снетной горе по Великой реке, заплакав горько, дома и жен и детей оставив, кто успел, тот на конях, другие же пешими. Те, кто имел коней, пошли к Новгороду, а пешие пошли в Печерский монастырь Пречистой Богородицы, боясь прежних преследований и жестоких казней.

Утром, в чистый понедельник Великого поста, когда все истинные христиане очищаются от всех злых дел, они же, еще более дикие, чем звери, свирепо разъярившись, как львы, собрались в центре города и позвонили на вече. Собрался буйный народ неразумный и крестьяне, как скот бессловесный, сами не зная, чего ради собраны. Главари же сборища сказали: «Ищущие вчера нашей крови сбежали, а мы оставшихся их советников возьмем и посадим в темницу и разузнаем о них».

И помчались по домам, ища добычи и желая насытиться кровью человеческой, подобно прежним мучителям, или еще более того — вторым иудеям, как, предрекая, назвал псковичей за дела их великий князь Александр Ярославич Невский. И кого из неповинных православных нашли, тех потащили на сборище, и жестоко их мучили, и бросили в пустые дома и погреба; кто же душой и телом покинул город, у тех жен кинули в дома и погреба и, выпуская их оттуда, жестоко мучили и смерти предавали. И занимали дома их, ели, пили и веселились, и богатства их между собой делили. И если кто-нибудь из сидящих в темнице имел что-то при себе, то откупался взяткой от мук и смерти; кто же не мог ничего дать, те были замучены и умерли в темницах, а жены их и дети остались бездомными. И было более двухсот мужчин и женщин, страдавших от таких бед, пока пришедший лжецарь и вор Матюшка не освободил всех страдальцев и вместо них не заточил самих <мучителей>. Все это было по Божьему предвидению, все потом получили возмездие за свои дела. Но возвратимся к прежнему рассказу. Царь Василий, узнав о таких раздорах в Пскове, самовольстве смердов и желая пострадать их, чтобы подчинились они Московскому государству, прислал в Великий Новгород князя Владимира Долгорукого, повелел ему с новгородскими войсками идти под Псков; и пришли они после Петрова дня.

И вышли псковичи из города навстречу им за три поприща, к речке Промежице, как буйно помешанные, словно на борьбу или на кулачный бой, и не было у них ни воеводы, ни предводителя, и полки их строили те же, кто собирали их на сборище, они и подстрекали народ, крича и вопя и совсем не зная ратного дела. И многих псковичей тогда побили на Промежице у Спаса, и преследовали их до самого города.

Новгородцы же стали у Никольского монастыря на Любятове. И псковичи почти всем городом вышли на них с рыбацкими щитами на возах и полковыми орудиями, и пошли к монастырю святого Николая. Новгородских же людей было немного, около трехсот человек, посланы они были для устрашения, чтобы воссоединились псковичи. Увидели же новгородцы беспорядочное их войско, не уstraшились множества идущих на них и разделились на три полка; первым выпустили на псковичей полк немцев. Псковичи же, тогда еще не понимая в ратном деле, увидев немцев, побежали к городу, тогда новгородцы бросили на них все полки и преследовали их до города, убивая и рубя; русские делали это с жалостью, только немцы многих порубили; и если бы тогда еще немного постояли, то сдали бы им город.

Но Бог так повелел, за грехи наши пожелал покарать и разорить Русскую землю: прежде мы, как собаки, только ушами слышали о Северной земле и о том, что творили литовцы на границах Московского государства и около Новгорода, и только Псковская земля одна оставалась доселе целой. Но наполнилась чаша горечи полынной — пришла весть, что злой тать и разбойник пан Лисовский и Иван Просовецкий вместе с русскими мучителями и грабителями приближается, спасаясь бегством, и к этой земле, что не нашли они больше места, гонимые князем Михаилом Васильевичем Скопиным, что многие города неожиданно ими были взяты и разорены. Услышав это, новгородцы возвратились, опасаясь, чтобы тот не пришел внезапно на Великий Новгород и не взял его.

Псковичи же еще до этого, узнав о готовящемся нападении на них новгородцев, не имея ниоткуда помощи, послали в Ливонскую землю к пану Ходкевичу Максиму Карповскому с просьбой о помощи, он же тогда не успел собрать войско и выступить. И псковичи, узнав о том, что пан Лисовский с литовцами и русскими людьми стоит в Новгородской земле, около Порхова, послали к нему бить челом, чтобы шел он в Псков с русскими людьми. Он же, опустошив многие новгородские земли, пришел в Псков.

И пустили его в город, а литовцев расположили за городом в посаде и стрелецкой слободе. Но понемногу начали и литовцы проникать в город, и многие начали большие деньги пропивать и принаряжаться, ибо многое множество имели золота, и серебра, и жемчуга, что награбили и захватили в славных городах Ростове и Костроме, и в обителях и лаврах прославленных, в монастыре Пафнутия Боровского и Колязинском монастыре и многих других; и гробницы святых разбивали, и сосуды и оклады у икон, и много плена взяли, жен, и девиц, и юношей. Когда все это порастратили, и проиграли в кости, и пропили, начали они дерзко говорить и угрожать горожанам: «Мы-де многие города захватили и разорили, так же поступим и с городом Псковом, ибо все состояние наше заложено здесь в корчме». И не осуществился их злой замысел, случилось все не по человеческому разумению, но по Божию промыслу, ибо, благодаря молитвам Пречистой своей Матери и великих чудотворцев, не захотел он тогда погубить город, не отдал его этому варвару на расхищение, ибо ждал нашего покаяния.

Узнали горожане об этом злом умысле злых людей и, придя к варвару, начали в лстивых словах его уговаривать, чтобы шел он к Ивангороду на выручку, поскольку был он тогда окружен шведскими немцами и находился за спиной у Новгорода и Пскова; а они-де, собрав деньги, пошлют к нему. Он нисколько не раздумывал над этим, и вскоре ушел из города со всем войском, и пришел к Ивангороду. Немцы же, узнав об этом, бежали в свои земли, в Ругодив.

Потом тот окаянный варвар понял, как обманули его псковичи, хитро выслал его из города, и сильно опечалился. И тогда он задумал ответную хитрость, чтобы взять обманом Ивангород, такую мощную крепость: «Тогда-де могу из этого города и другие отвоевать».

И послал он вперед себя небольшой отряд в город с хлебным запасом, ибо там оставалось мало продовольствия. Они вошли в острог и хотели войти в город и засесть там, как он велел, и никто в городе не увидел в этом коварства, но все очень обрадовались и похвалили их. Но один из старших дьяков, по имени Афанасий Андронников, понял его злое коварство, и повелел закрыть ворота города, и не пустил их, и повелел им находиться в остроге.

В это же время и сам многоковарный подоспел к острогу, и не пустили его, и был он посрамлен; и попросился у правителей городских побывать в городе с небольшим числом людей, и пропустили его, и поблагодарили за выручку. Он же удивлялся мощным укреплениям города: стоит он на высокой горе, имеет три каменные стены и множество орудий и всяких запасов. И похвалил правителей городских, говоря: «Ни в одном из русских городов не могли разгадать моих многочисленных хитростей и уловок, которыми я их обольщал, этот же город мне не удалось взять обманом, ибо раскрыли мой обман». И ушел из города.

И разделились между собой литовцы и русские, и пошли русские в Псков, а пан Лисовский с литовцами и немцами, взятыми в плен в Ивангороде, пошел мимо Пскова. И пошел выше Пскова, и взял пригороды Воронич, и Красное, и Заволочье, и начал оттуда совершать набеги на Псков каждые день и ночь, и на Изборск, и на Печоры, и в другие места, и опустошил всю Псковскую землю.

И в тот же год начались всякие беды в Пскове: стало дорожать пропитание в посадах, поскольку был окружен город отовсюду, с двух сторон немцами, а с третьей литовцами, не дающими выйти из города за необходимым. И 8 лет длились голод, и мор, и сидение в осаде от литовцев, и от русских воров, и от немцев. Но велика милость Пречистой Богородицы Печерской, что не позволила закрыть путь, идущий мимо ее дома к литовской границе в Ливонскую землю, оттуда все эти годы и доставляли пропитание в Псков, поскольку жители <ливонских> городов были в большом мире с псковичами; если бы не помогала та земля пропитанием, то не могли бы избавиться от поганых. Но много бед от нашествия литовских и немецких войск выпало тогда и на долю обители Пречистой Богородицы, но от всех бед сохранила и защитила Пречистая Богородица дом свой, и прославился ее монастырь во всех концах вселенной, о чем немного расскажу впоследствии, потому что невозможно подробно рассказать о всех преславных чудесах ее, случившихся в то время.

Тогда за грехи наши начались в Московском государстве распри: возненавидели царя Василия за многое кровопролитие, и, во-вторых, братья царя Василия возненавидели за храбрость племянника своего, князя Михаила Скопина, который нанял немцев и отогнал вора с литовцами от царствующего города, и, заманив его в Москву, отравили. И задумали посадить на царство литовского королевича, так и сделали: взяли царя Василия и отдали его литовскому королю. Король же давно ждал того, чтобы обольстить русских людей, обещал дать на царство своего сына и послал своих людей в Москву, и, придя, овладели они царством. Шведские немцы, увидев беспорядки в государстве и что умер тот, кто их нанял, 16 июля пришли и захватили Великий Новгород и владели им 6 лет.

В том же 119 (1611) году накануне Великого дня новые волнения охватили Ивангород, ибо ивангородцы и псковичи поддались на обман тушинского вора. Назвавшийся этим именем раздьякон Матюшка, прибежав из Москвы, выбрал удобное время для того, чтобы поднять мятеж в русских городах, ибо прежний тушинский вор был убит в Калуге Петром Урусовым, но говорилось, будто он ушел в Ивангород, а не был убит. И начали собираться вокруг него такие же воры и убийцы: из Новгорода казаки, оставив Новгород немцам, пришли к нему, и стрельцы псковские присоединились к нему; и начал он посылать грамоты в Псков и пригороды, вызывая раздоры и смуту, говоря: «Я царь».

Псковские жители, видя постоянные предательства и то, что и прежде многие мятежники и отступники Русской земли называли себя царским именем, не послушали его и с позором отправили посланного, сказав, что он безбожник и вероотступник и что они не

хотят его себе в цари. Тот же собрал своих воров и пришел в июле месяце к Пскову со стенобитными и метательными орудиями; горожане же мужественно сопротивлялись ему и много побед одержали; а этот вор долго обстреливал жилые дома и зажигал их, метая огонь, людей устрояя, но ничего не достиг.

Немцы в Великом Новгороде слышали о объявившемся воре, стоящем под Псковом, испугались, что когда-нибудь тот сядет в Пскове и, придя, выгонит их из Новгорода; и послали небольшое войско взять его. Тот же окаянный, узнав о немцах, выступивших против него, убежал из-под Пскова в Ивангород; и догнали его немцы за Гдовом на реке Плюссе, и многих убили здесь, только он один с небольшим отрядом успел переехать реку. Псковские же жители, не зная, что делать и к кому примкнуть, не надеясь ни на чью помощь, поскольку в Москве были литовцы, а в Новгороде немцы, окруженные со всех сторон, они порешили призвать к себе лжецаря. О, это последнее безумие! Прежде клялись не слушать лжецаря, не подчиняться ему, потом же сами послали выборных от всех сословий бить ему челом и повинную послали.

Тот же окаянный обрадовался радостью великой, что избавили его от немецкого окружения, в котором он бы и погиб, и вскоре пришел в Псков. И встретили его с честью, и начали к нему собираться многие из тех, кто радовался крови и жаждал чужого добра, к тому же и поганых любил, литовцев и немцев. И много насильничали они над горожанами, и взыскивали с истязаниями корма и всякую дань, и многих замучили. Тогда псковичи окончательно разуверились в лжецарях, обманщиках, и начали тужить и страдать от его притеснений.

В это время литовцы были окружены в Москве русскими войсками и прислали оттуда в Псков нескольких достойных мужей разоблачить обман этого нового самозванного царя. Те же, кто прибыл, чтобы установить <кто этот новый царь>, испугались, боясь смерти, не обличили его. И некоторое время спустя, выбрав удобное время, когда он послал войско на новгородский пригород Порхов, тогда они, посоветовавшись с горожанами, схватили его и увезли в Москву.

И с тех пор прекратились на Руси мятежи лжецарей, лишь небольшая смута осталась: после убийства прежнего лжецаря, который был убит в Калуге, некто Ивашка Заруцкий взял его сына Ивашку и жену и бежал вниз по Волге в Астрахань. Когда же воцарился благочестивый царь Михаил и возродилось Московское государство, тогда и тех безбожников, поймав, привезли в Москву, всех казнили; и был уничтожен злой сорняк вражеских смут.

## **О причинах гибели царств<sup>56</sup>**

### **О произведении:**

*Сочинение «О причинах гибели царств» представляет собой трактат на политическую тему и носит в подлиннике пространное заглавие «Описание вин или причин, которыми к погибели и к разоренью всякие царства приходят, и которыми делами в целости и в покою содержатца и строятца». Это памятник исторической мысли, содержащий попытку осмыслить судьбы государств и причины, приводящие их к неустройству и гибели. В нем ставятся вопросы о причинах возникающих смут и мятежей и на первый план выдвигается вопрос о царской власти, о необходимых для «хорошего царя» качествах, а также вопрос о поведении «начальников», подчиненных царя. Историко-политические рассуждения в нем иллюстрируются конкретными примерами из античной истории, что придает памятнику литературный интерес. Трактат является, возможно, памятником новолатинской литературы, попавшим на Русь в XVII в. через польско-украинско-белорусское посредство. Некоторые списки сочинения содержат имя переводчика — Василия Садовулина (или Садовского). Но источник перевода пока не обнаружен. Декларируемая в издании 1989 г. принадлежность памятника Николаю*

---

<sup>56</sup> Подготовка текста, перевод и комментарии М. А. Салминой, перевод О. В. Творогова

*Спафарию (см.: Н. Г. Милеску Спафарий — ученый, мыслитель, государственный деятель. Кишинев, 1989. С. 101—132) несостоятельна. Вместе с тем заслуживает рассмотрения датировка памятника 1670-ми гг.*

*Трактат переписывался и в XVIII в. и имел хождение в старообрядческой среде. Один из списков памятника находился в библиотеке Петра I (рукопись БАН. 17.8.10). Древнерусский текст трактата сложен по языку, изобилует громоздкими конструкциями.*

*Списки памятника датируются XVII—XVIII вв. Древнейшим является список РНБ, О.П.3.XVII в. Текст печатается по списку РНБ, О.П.3, впервые опубликованному М. А. Салминой в издании: ТОДРЛ. М.;Л., 1954. Т. 10. С. 342—352; исправления сделаны по списку РНБ, собр. Титова, 1121 (старый номер 2350).*

**ОПИСАНИЕ ПОВОДОВ ИЛИ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ РАЗЛИЧНЫЕ ГОСУДАРСТВА ПРИХОДЯТ К ГИБЕЛИ И РАЗОРЕНИЮ, И О ТЕХ ДЕЯНИЯХ, БЛАГОДАря КОТОРЫМ ОНИ В ЦЕЛОСТИ И ПОКОЕ ЖИВУТ И РАСЦВЕТАЮТ**

Прежде всего приводятся изречения и суждения двух мудрецов о том, почему приходят различные царства к гибели и разорению: люди ли тому виной и причиной или же суд Божий.

Платон-философ писал об этом так: каждое царство имеет свои исконные и естественные основы, но каким бы ни было оно прекрасным и могучим и устроенным, все равно погибнет в свое время из-за дел и распрей, то есть от перемены законов.

Ксенофонт-философ в описании деяний персидского царя Кира, обозрев разные царства, существовавшие либо под властью одного царя, либо многих властителей, удивлялся тому, что ни одно из них не просуществовало в целостности и безопасности долгое время, и считал, что причиной тому люди, бывшие властителями и правителями этих государств: из-за их злобы, притязаний, гордости и неправедных дел происходят перемены во всех царствах и они гибнут.

Из двух мнений тех двух философов лучше и справедливее мнение мудреца Ксенофонта: хотя и не происходит ничего на свете без воли Бога и без суда его, вершится этот суд Божий за грехи и преступления, совершаемые людьми, отпавшими от Бога, и навлекают они на себя его страшный гнев, который ничем не отвести, кроме покаяния.

А возбуждается гнев Божий на людей пороками их или же грехами их начальников. Примеров тому немало в Священном Писании, среди которых такой пример: разгневался Бог на Соломона, царя еврейского, за то, что отпало сердце его от Бога и не стал он исполнять повелений его. И предрек ему Бог за это наказание: решил разделить царство его и передать власть над ним слуге его, что впоследствии и свершилось. Поэтому когда умер Соломон, то распалось царство его по той причине, что одни избрали царем Ровоама, сына Соломонова, а другие — Иеровоама, сына Наватова.

Учит так же Иисус, сын Сираха, написавший такие слова: «Из-за несправедливостей и обид, из-за богатства, неправедно добытого и собранного, попадают царства под власть иноплеменников». Таким образом, показано, что злоба и грехи человеческие — являются причиной гибели царств, и зло это можно сравнить с болезненным чирьем, что зовется канцер, который если появится где-либо на человеческом теле, то уже не излечат его ни премудрые врачи, ни лучшие и дорогие лекарства: растет он до тех пор, пока не распространится на все тело и человека не погубит.

Так же и там, где множится и ширится зло человеческое, где нет единодушия начальников с подданными, все приходит к тому, что все царство переполняется злом и грехами человеческими, за которые карает Бог.

Во всяком государстве властителям и начальникам подобает жить честно и праведно, чтобы являлись они образцом всех добродетелей, ибо каков будет царь, таковы же, глядя на него, будут и подданные его. Как говорится в народной притче: каков купец или торговый человек, таков и товар его.

Если грехами и иными неподобающими делами и жестокостью государей и начальников оскверняемо и развращаемо бывает государство, то, напротив, добродетель укрепляется смирением и милосердием их, ибо добрый нрав государя укрепляет подданных его.

До тех пор будет существовать всякое государство, пока будет править в нем добродетель и будут чтиться добрые святые и справедливые обычаи и установления. И не будет никаких таких измышлений коварных и такого насилия, которые смогли бы хорошо устроенное и сплоченное государство с вершины славы его свергнуть и разорить, ибо пока не овладеет государством гордыня и алчность, а также помыслы злые, и праздность, и жестокость, до тех пор в нем все деяния будут прочными и непоколебимыми.

Прежде всего каждому государю и начальнику следует остерегаться того, чтобы ничего не совершалось в государстве насилием и беззаконием. Если совершается что-либо насилием, то не будет оно ни долговечным, ни крепким, ибо никогда не были долговечны власть и могущество мучителя, так как злодеяния и насилие будят в подданных зависть и ненависть и порождают в людях думы и помыслы о мести, чему пример был в Римском государстве. Когда Аппий Клавдий, думный и верховный боярин Римского государства, составитель судебных законов, захотел было принудить к бесчестной любви дочь одного римлянина Виргиния, но так как не смог осуществить злодейского своего намерения, то задумал добиться желаемого обманом и насилием, и это явилось причиной великой скорби и для отца той девицы, и для рода ее, а также и для всех людей. А поступок отца ее, убившего дочь свою собственными руками, не желая, чтобы она была взята для нечистой любви злого властителя и обесчещена, возбудил ненависть к Аппию и вызвал возмущение против него. А потом отец призвал весь народ к отомщению: убив дочь свою, с окровавленными руками предстал он перед римским войском и поведал воинам о своем горе и насилии того начальника. И это явилось главной причиной великого смятения в Римском государстве.

И если для всех начальников любовь подданных, которыми они повелевают, — их красота, и честь, и жизнь без страха, то, напротив, нелюбовь и ненависть подданных — бесчестье для всех государей и начальников, по большей части приводящее их к гибели. И те начальники, которые хотят и жаждут того, чтобы подданные скорее боялись их, чем любили, идут к гибели точно слепые, ибо ничего в мире не может быть лучше для поддержания славы государя, как любовь к нему всех подданных. Также нет ничего хуже, если все одного боятся.

Писал некий мудрец: если кого-либо люди боятся, то уже и видеть его не рады и всякий хочет, чтобы тот человек, кого боятся, поскорее сгинул. Поэтому начальникам, желающим, чтобы подданные боялись их, следует самим бояться своих подданных. Пример тому — сиракузский царь Дионисий, который так страшился мести за свою невиданную жестокость, что сам раскаленным углем опаливал себе бороду и волосы на голове, не доверяясь ножницам и ножу брадобрея. Также и Александр, тирренский царь, всю жизнь свою прожил невесело и в тревоге. Как ни любил он свою жену Фебу, и то, входя в ее покои, всегда посылал впереди себя наемника с обнаженным мечом. А еще до этого посылал двух дворян, своих телохранителей, чтобы те дворяне обыскали все углы и все ящики в ларцах его жены, дабы где-нибудь не было припрятано оружия. Но не помогла ему эта великая осторожность, ибо та жена и убила его впоследствии.

Любовь подданных благотворна для сохранения жизни государя и для величия его и могущества, а страх подданных — плохой страж его долголетия, наполняющий жизнь государя страхом и великим бесславием. Полидор-мудрец написал об этом так: ничего не может быть худшего для человека, если он и при жизни своей пользовался у подданных дурной славой и после смерти заслужил лишь бесчестие и проклятие. Бесславием покрыл себя лакедемонский гетман Лисандр, постоянно говоривший так: «Если где львиная шкура не поможет, то там лисья пригодится», иными словами, где нельзя добиться силой, там надо прибегать к хитрости.

Но, напротив, заслужил себе великую славу благородством своим римский цесарь Фабриций, которому как-то прислал грамоту лекарь эфирского царя Пирра, обещая отравить своего государя, если получит за это большую награду. Цесарь Фабриций не только не принял предложения изменника, но даже послал со своим приближенным грамоту от имени Римского государства к царю Пирру, хотя и воевал с ним, а в ней написал так: «Полагаем, царь Пирр, что не выпало тебе счастья самому узнать, кто тебе — верный друг, а кто — недруг и изменник, но об этом сам узнаешь, если прочтешь эту грамоту, нами тебе посланную, и из нее тебе станет ясно, что ты начал войну против благородных и справедливых людей, а надеешься на злых и лукавых советников, о чем извещаем тебя не для тебя самого, а для самих себя, чтобы нас не обвинили несправедливо в твоей смерти и чтобы никто не подумал, что мы погубили тебя хитростью, не сумев тебя честно победить».

Для сохранения в целостности государства необходимо, чтобы не изменялись законы или судебники и государственные постановления, но как можно бережнее хранились, ибо изменение древних и старых обычаев ведет к переменам в государстве. А если уже необходимо изменить какой-либо из обычаев страны, то следует это делать не наспех, а постепенно, чтобы от неожиданных перемен не смутились сердца подданных и чтобы вслед за тем не пришло в смятение государство, ибо всякое новое несет государству больше потерь, чем прибыли, и нововведения приводят к смуте и мятежу в стране. А тем более если эти новые законы и постановления, — иначе говоря судебники, — вводятся не для блага всех людей в государстве, но либо для возвышения богатых и знатных людей, либо для угнетения неимущих.

Должно быть так, чтобы власть приказных людей в государстве оставалась бы справедливой, чтобы осуществлялась она в своих пределах и в соответствии с законом и чтобы приказные люди своей власти не превышали, а пользовались ею лишь настолько, насколько это предусмотрено судебниками. И чтобы та власть приказных людей над подданными не превышала определенной законом, записанным в судебниках, ибо во всяком государстве самое верное дело, если власть приказных людей сохраняется в своих пределах и не усиливается. Поэтому, когда такая власть возрастает и расширяется, то побуждает она государя и начальников к жестокости и восстанавливает их против своих же подданных.

У римлян было десять мужей, которые управляли государством и составляли законы. Но те мужи вскоре стали настолько всесильны, что во многих государственных делах начали прибегать к насилию, отчего и начались в государстве мятежи и смуты, и те мужи были впоследствии отстранены от своих должностей.

Таковы же были и те тридцать мужей, которых Лисандр, лакедемонский царь, поставил правителями Афинского государства: многих горожан они истребили мечом и погубили отравой, но и сами впоследствии приняли такую же казнь за свои злодеяния. Трасибул, афинский боярин, воодушевленный любовью к своей отчизне и видя, что одни горожане несправедливо осуждены мучителями или приговорены к казни, а другие изгнаны из города, а у иных отнято имущество, вскоре возвратил свободу Афинскому государству, отняв власть и могущество у тех начальников, а после и их самих погубил с помощью людей, которые теми начальствовавшими мужами были осуждены на смерть или изгнаны прочь из города.

Философ Аристотель, размышляя о подобных деяниях, писал так: «Чем больше власть и сила начальников сохраняется в своих пределах, тем крепче и в большей славе будет такое государство, потому что люди не будут завидовать власти начальников, а начальники, как и прежде, будут справедливо поступать со своими подданными».

Теопомп, царь спартанский, ограничил власть правителей лакедемонян. Во главе государства он поставил эфоров, по-нашему — земских приказных людей, которые независимо от царя обладали всей властью в государстве и правом издавать постановления

и судить, и когда судили, то уже не спрашивали на то царского разрешения. Эти же земские начальники не только заботились о всяких государственных делах, но и самого царя поучали, поправляя его, если он делал что-либо против закона и судебныхников. И над этим решением царя Теопомпа одно время смеялась его жена, говоря так: «Как не стыдно тебе, царь Теопомп, что ты оставишь своим сыновьям меньше власти и царского достоинства, чем получил сам от своих предков?» Он же на эти слова отвечал ей так: «Жена моя! Не меньшую власть, а более крепкую и совершенную я оставляю сыновьям моим». Те слова его справедливы и разумны, потому что все, в чем соблюдена мера, существует на свете долго и неизменно.

Достойная вещь — избегать зависти и тем более завидовать людям великим и почитаемым, ибо чем более чтим человек и чем он мудрее, тем больше у него завистников. А зависть безгранична, и преследует она тех людей, на чью долю выпало счастье, и такую зависть можно сравнить с болезнью, которую греки называли офталмия, иначе говоря — глазная болезнь, потому что если человек страдает этой болезнью глаз, то избегает он ярких предметов и не может смотреть на солнце. Так же и зависть преследует тех, кто всех людей знатнее и богаче, и зависть эта не только погубила почтенных людей, но и разорила немало государств и городов. Так же и Афинское государство погубило не что иное, как зависть.

Жалование за службу — тоже повод для зависти в государстве, и надо заботиться начальникам и людям иных чинов, чтобы никто не жаждал его сверх меры. Вот, например, благородный муж, мудрец Питтак, один из семи мудрецов. Когда он избавил свою отчизну от страданий и убил на поединке афинского гетмана Фринона, то предложили ему управлять государством, но он власть презрел и отказался ее принять, а когда все бояре государства предложили ему за его заслуги много вотчин, то он ответил им такими словами: «Не давайте мне ничего, чему бы стали завидовать многие люди, а еще больше людей желало бы иметь то же».

От зависти рождается наущничество, когда клеветает один на другого, чтобы отнять у него честь и добрую славу. От этого предостерегает и Священное Писание и говорит, что клеветники, мошенники и надменные насильники достойны смерти. И не только те, кто сам так поступает, но и те, кто побуждает к тому. А от зависти гибнет честь и слава, когда кто-либо чернит почитаемого всеми людьми и бесчестит его. Той же завистью порождается и радость, проявляющаяся тогда, когда ближнего нашего постигает несчастье. И таким людям Священное Писание грозит такими словами: «Люди, радующиеся скорби и печали добродетельных, увязнут в сетях, а перед смертью будут изнурены болезнью». Четвертое зло, происходящее от зависти, — это огорчение, которое испытывает завистливый человек, видя, что ближний его счастлив в богатстве и почестях. Пишет Екклезиаст: «Когда к человеку приходит счастье, то скорбь охватывает недругов его». Пятое зло от той же зависти рождается: когда кто-нибудь не только печалится, если к недругу его приходит счастье, но и завидует ему, и жаждет увидеть его в беде.

Похлебство, то есть лесть, также происходит от зависти и является злым ядом в государстве, поэтому людям, облеченным властью, не подобает прислушиваться к таким разговорам, которые не только не принесут государству никакой пользы, но и создадут для него еще большие затруднения, ибо коварные люди живут одними слухами, понося и оговаривая добродетельных и честных людей, почитаемых в государстве, и тем самым прирожденные добродетели своих государей превращают в жестокость и немилосердие. И хотя бы донос или клевета могут иметь основания, но надо помнить, что написал мудрец Солон: «Для блага больших и мудрых деяний не должен начальник потакать желаниям и пристрастиям всех людей и не годится государю впадать в мыслях своих в гнев и прибегать к жестокости, ибо лишь милосердие и добродетель государя приносят здоровье государству». Примером того служит мучитель Нерон, царь римский: от рождения бывший лютым и жестоким мучителем, одной обладал добродетелью, достойной прославления: ничего не терпел он, но, когда его ругали или говорили о нем

непочтительно, не обращал на это внимания. Эпаминонд, греческий князь, терпеливо сносил злые наветы людей, являя собой пример того, как подобает мужеству и разуму человеческому презирать злые сплетни. Юлий, цесарь римский, ко всем был ласков и милостив, даже к тем, кто говорил о нем непочтительно, и ничем не мстил им, но даже запрещал и осуждал такую месть: «Всякому государю не подобает слушать слов, рождающихся в устах злых, если он сам во всех своих делах поступает по законам государства».

Алчность также является причиной гибели государств, ибо для государства нет большей помехи, чем алчность, а особенно алчность начальников, им управляющих. Как Екклезиаст об этом пишет: «Нет ничего худшего, чем алчный человек, который душу свою продает и живет так, как будто его что-то гложет внутри и раздирает».

Цицерон-мудрец писал: «Если кто хочет торговать государством и ищет себе в этом выгоды, тот — бесчестный, злой и бездушный человек, и смуты и мятежи возникают в государстве, как только начальники начинают больше заботиться о своей корысти, нежели о делах, благих для своего государства, и это не приводит к добру, но еще большей причиной гибели государства является то, что думные бояре спорят между собой о чинах, почестях или богатстве, и из-за такой их ненависти и междоусобицы само государство не бывает свободно от смут. За смутой же следует гибель, ибо от малой искры возникает большой пожар».

Два молодых думных боярина в Сиракузанском государстве поссорились и возненавидели друг друга, потому что один из них взял в жены невесту другого. Однажды, когда тот был послан на воеводство, обиженный, узнав об этом, тотчас стал раздумывать, замышляя месть против того, кто отнял у него невесту, и обвинил его в прелюбодеянии. Это вызвало смуту в городе, а потом одни люди стали на сторону одного, другие — на сторону другого и начали войну, в которой погибло много достойных и именитых бояр. А после народ захватил власть в государстве.

В великую смуту и в распри ввергли Римское царство, рассорившись, два думных боярина, Марий и Сулла. Марий послал Суллу к царю Бокху, чтобы тот выдал ему изменника Югурту, а Сулла, приведя того, возгордился такой удачей и возомнил о себе. И в знак своих заслуг, принижая тем Мария, велел вырезать на своем перстне изображение отданного ему Югурты и постоянно носил этот перстень на пальце. Оскорбленный Марий отдалил от себя Суллу. А впоследствии Сулла, объединившись с Метеллом и Катуллом, врагами Мария, начал междоусобную войну и погубил Мария.

Стремление к добродетели или соперничество в ней, напротив, славно и благородно в любом государстве и идет на пользу ему, и то государство, где бояре без хитростей стремятся к добродетели, — наилучшее; кто поистине добродетелен, тот одного желает — лишь бы принести всему государству пользу. Но в наш испорченный век больше таких людей, которые заботятся о том, чтобы превзойти другого в возможности разбогатеть или приобрести состояние, а не в славе и добродетели. И кто захотел бы сравнить добродетель с этими суетными вещами, то увидел бы, что являются они немалым препятствием на пути к славе и чести, а больше всего — для тех людей, кто лишь в них надеется обрести свое счастье.

Не нашел бы он в наше время такого человека, которому было бы чуждо желание богатства и кто поступил бы, как некий благородный грек Фемистокл, который как-то, гуляя, увидел на земле золотую цепочку и, не подняв ее, подозвал одного из младших дворян своих и сказал ему: «Что же ты не поднимаешь эту цепочку, ведь ты не Фемистокл!» Этим поступком он показал, что есть много людей, жаждущих богатств, которых он сам не искал, ибо и того не поднял с земли, что нашел по счастью.

Желание богатства — дело пагубное и корень всех зол, и называют его мудрецы злым ядом государства, потому что богатство достается по большей части недостойным, а не тем, кто его заслужил, из-за чего смута и мятежи возникают в государстве, когда честные и заслуженные люди лишаются высоких и почетных должностей, а ничтожные люди

возвышаются. Во время такой смуты некий благородный римлянин Нума был убит, чтобы после его убийства открылась дорога к почестям для человека глупого, по имени Сатурнин. Желание это побуждает разумных и честных людей объединиться в единомыслии, чтобы между собой разделить почести, не допуская к ним иных мелких людей. Но при этом власть в государстве оказывается в руках немногих людей, а такая власть не обходится без жестокостей.

Властелин, жаждущий богатства, вызывает в народе зависть и нелюбовь. И особенно, если он иноземцам больше, чем своим, здоровье свое доверяет и такие поступки совершает, которые препятствуют укреплению государства. Народ, придя в отчаяние и смятение от насилий и бедности, восстает против тех, кто властвует над ним, как произошло это с сыновьями мучителя Пизистрата, которые были убиты за свое честолюбивое и завистливое правление.

Справедливыми и мудрыми кажутся слова философа Аристотеля, который советовал людей неимущих облекать властью и ставить их начальниками, то есть тех, кто прежде жил в нищете и бедности, но только чтобы, достигнув богатства, они не стали гордыми и спесивыми.

Плохо бывает в том государстве, где бояре не могут свободно говорить о делах, которые принесли бы государству только пользу, боясь тех, кто, объединившись в своем единомыслии, все творят по своему произволу. Такой произвол грозил гибелью Демосфену, оратору греческому, когда Александр, царь македонский, суля свободу, вторгся со своим войском в греческие государства и хотел взять славный город Афины и поработить его. Впоследствии, в посланиях и через своих послов, он оправдывался перед боярами и афинским народом, утверждая, что поступал так не потому, что хотел лишить их свободы и прав и поработить город, но потому, что видел нерадение десяти мужей — афинских бояр и гневался на них, ибо они в думе поминали его всегда недобрым словом и поносили его. И если бы те бояре были ему выданы, то он снял бы осаду с города и избавил народ от голода и войны. А прежде всего он добивался выдачи оратора и красноречивого мужа Демосфена, лучше и знаменитее которого не было в то время в греческом государстве, и с ним вместе и десяти других мужей. У бояр по этому поводу были различные мнения. Одни соглашались и говорили, что лучше потерять несколько человек, но всем остаться целыми. Те же, кого Александр требовал выдать себе на расправу, не желали этого, но не смели противоречить, потому что смерть их давала надежду остаться в живых остальным. И уже было решено выдать их царю Александру, но Демосфен красноречивый представил хитрость царя Александра в притче, которую и поведал афинским боярам и народу: «Однажды волк, желая усыпить бдительность пастухов, предложил им дружбу и братскую любовь и, чтобы укрепить эту взаимную любовь, попросил отдать ему всех собак, которые стерегли овец и были причиной ненависти и вражды между ним и пастухами. После этого волк без страха и боязни потаскал и поел весь скот не только для насыщения, но и по своей прихоти, и поел не только скотину, а и самих пастухов. Так же поступает и царь Александр: хочет у вас отнять всех тех, которые разоблачают его коварство, чтобы после этого и всех думных, и вас, народ, взять в свои руки, истребив тех, кто охраняет вас своей мудростью». И надо, чтобы притча та была наукой для думных бояр, чтобы остерегались они коварства людей, клеветующих и оговаривающих тех, с кем не могут даже сравниться в добродетели.

Демосфен, тот всеми чтимый оратор, писал, что нет ничего худшего для человека, если лишен он возможности свободно говорить о своих делах. И подтвердил он это своим поступком, когда, будучи в посольстве от афинских бояр у македонского царя Филиппа, он свободно и смело говорил с царем. И сказал ему царь Филипп: «Не боишься ли ты, Демосфен, что я прикажу отсечь тебе голову?» Ответил Демосфен: «Не боюсь этого: если голову мою возьмешь, то это принесет мне великую и бессмертную славу».

Во всяком государстве не обходится дело без преступлений, однако преступников не следует наказывать жестоко, ибо начальники должны проявлять милосердие к своим

подданным, но наказывать строптивых. И покрывает себя бесславием всякий начальник, кто не сможет совладать со своим гневом, толкнувшим его на месть своим подданным.

Милосердие начальников дорого всему народу и вызывает любовь к тем, кто его проявляет. В Афинском государстве в древности милосердие как Бога славили, чтоб начальствующие люди учились милостиво наставлять виноватых. Всякому властителю подобает помнить о том, что любому из них, поставленному от Бога, следует избегать кровопролития. Но если уж это необходимо и невозможно усмирить зло в государстве, не прибегая к кровопролитию, то тогда надо поступать по примеру лекарей и докторов: если видят они, что жестокая болезнь не может быть излечена никакими лекарствами, то — не радуясь, а жалея — отрезают они те или иные части человеческого тела, но притом только те, которые пострадали, чтобы остальное тело не заразилось от пораженной болезнью части.

Не следует также всегда проявлять милосердие к виноватым, чтобы государство от этого не погибло, но наказания всегда необходимы для сохранения целостности государства, так как злобу, только что возникшую, еще можно уничтожить, но если уже она застарелая, то нельзя ни излечить ее, ни усмирить.

Вот слова мудреца Солона, достойные того, чтобы их помнили: «Всякий государь, который хочет, чтобы подданные его любили, не должен быть ни слишком милосердным, ни слишком жестоким». Лисандр, царь лакедемонский, будучи спрошен о том, каким представляется ему наилучшее государство, ответил так: «Если в государстве достойные люди за свою добродетель почитаемы и вознаграждаемы, а злые, напротив, за свои злодеяния наказуемы, то такое государство пребывает всегда в славе и могуществе».

Не приводит к добру в государстве и то, если вводятся в нем иноземные обычаи. Видя это, Ликург, лакедемонский законодатель, в государственных установлениях, среди прочих законов, ввел и такой, чтобы в лакедемонскую думу не принимали иноземцев. А делал это не для унижения достоинства иноземцев и не из-за их нерадения, но чтобы не принесли перемен в обычаях и делах государства. А всего более следует остерегаться, чтобы из-за иноземных обычаев не распространились расточительность или мотовство в быту людей, иначе говоря, в еде и одежде. Как только появится это в государстве и пустит корни, то принесет оно безграничное зло, а за этим последуют большие беды.

Расточительность, или, как ее называют, мотовство, — это источник бедности и убожества. На это цесарь римский Тиберий обратил внимание думного своего Атиллы, который из-за своей расточительности и мотовства впал в жестокую нищету и постоянно плакал, вспоминая свое богатство. И сказал ему цесарь Тиберий: «Поздно и не вовремя ты одумался, растратив все свои богатства. А за таким расточительством последует желание чужих богатств, когда утрачены свои». И если это желание начнет осуществляться, тогда не будет единодушия и любви между людьми, а за этим последуют смуты и мятежи в государстве, а потом и разорение государств и царств.

И как всякие добродетели приносят государству славу и честь, так же, напротив, гибнет слава того государства, в котором властвует злоба, неправда и коварство. И поэтому все властелины всех государств должны их остерегаться, чтобы смогли сохранить целостность своего государства и о себе оставить навеки бессмертную славу. И о том должны помышлять, чем бы Божий гнев усмирить, и таких бы грехов остерегались, которые осуждаются Богом.

Праздность и лень — также убыток для государства, когда должностные люди не исполняют своих обязанностей, возложенных на них Богом, из-за своей праздности и лени. И те города — Содом и Гоморру не что иное не привело к гибели, как только безграничная гордость, избыток хлеба и праздность, от которой и происходит всякое зло.

Лакедемонский гетман Клеомен, будучи спрошен одним человеком, почему лакедемоняне, воюя с аригвянами и не раз побеждая их, до конца их не разгромили, ответил: «Не хотим мы того, чтобы аригвяне были нами разгромлены: пусть останутся у нас враги, которые будут учить молодых наших воинов». Тем самым показал он, что юность портится

праздностью. Видя это, законодатель Ликург готовил на подвиги не только молодых людей мужского пола, но и девушек приучал к различным делам, например скакать на лошади, стрелять и иным разумным делам. А когда один человек спросил Ликурга о том, для чего он это делает, тот ответил: «Для того есть различные причины, а именно: пусть женщины и девушки с большой выносливостью и без страха смогут переносить болезни и терпеть боль при родах, а тем более, если бы то понадобилось, — воевать, защищая себя, детей своих и свою отчизну». Агесилай, царь лакедемонский, царствуя, не знал праздности, но всегда пребывал в великих трудах и другим советовал поступать так же. Эта праздность принесла гибель Сарданапалу, царю ассирийскому, которого однажды его приближенный, воевода Арбацес, увидел прядущим нити в кругу бесстыдных женщин. И подумал он, что не годится, чтобы такой царь повелевал и владел множеством людей, если он сам хуже женщин, и сделал так, что царь и себя, и все богатство свое, возложив на столп каменный, спалил.

Хилон-философ называл хорошим царем того, кто заботится, чтобы все подданные любили его не от страха, а за милосердие.

Агасикл, царь лакедемонский, был спрошен одним человеком, каким образом может всякий государь царствовать без страха, не имея вокруг себя никакой охраны, и так ответил: «Если он повелевает своими подданными так, как отец повелевает сыном своим». Эти слова его достойны размышления, ибо отец по своей отцовской природе больше заботится о детях своих, чем сам о себе. И поэтому дети любят отца. Так же и государи должны больше заботиться о достатке и богатстве своего государства, нежели о своем собственном богатстве и имуществе, вызвать к себе любовь и привлечь подданных, каковая любовь является прочным основанием их долгого царствования, так как если царь или начальник добр, то он — счастливейший из людей, и напротив, царь мучитель — самый несчастливый, потому что добрый царь живет без страха, а злой, напротив, живет в страхе и постоянно окружен многочисленными изменниками.

Агесилай, царь лакедемонский, будучи спрошен о том, какая из добродетелей лучше — мужество или правда, ответил: «Мужество не принесет блага, если при нем правды не будет, потому что если бы все люди были праведными, то не понадобилось бы и мужества. Так же премудрость без правды есть хитрость, смирение без мужества — лень, справедливость без милосердия — жестокость».

Желание и стремление к захвату чужих царств происходит не от добродетели, а от злобы, и это желание толкает человека на несправедливые поступки и приводит его к плохому концу. Об этом сказал Диоген-философ Филиппу, царю македонскому, когда Филипп, собрав свое огромное войско, пришел к Херонее. Туда же пришел в это время Диоген; его поймали и привели к царю. Царь, увидев незнакомого ему Диогена, спросил того наугад: «Ты не лазутчик ли?» Диоген ответил царю: «Правда, я лазутчик, пришел я посмотреть на вздорный и глупый рассудок твой, которого едва хватает тебе, чтобы править в Македонском царстве, а ты еще и чужие царства добываешь и сам себя в такой страх приводишь, что и здоровье, и престол свой понапрасну утратишь».

Подобает государям заниматься такими делами, которые помогли бы государству разрастаться и шириться. А избегать должны всего, что недостойно их престола и что принесло бы престолу их какое-либо бесславие, и не устанавливать в государстве таких порядков, которые были бы ненавистны всем и принесли бы больше страху, чем покоя, и больше ненависти, чем любви.

Так подобает всякому начальнику избегать гнева, потому что гнев может затмить собой хорошие дела. Пишут мудрецы об Александре, царе македонском, не раз являвшем собой образец мужества, что он, однако, был иногда вспыльчив и этим мог заставить забыть все свои благородные и великие деяния, так он убил без вины своего старого приятеля, по имени Клит, а потом, когда отошел от гнева, выдернув меч из его тела, на себя его направил и убил бы себя, но близкие друзья его удержали.

Также вот и Дионисий-мучитель, когда хотел потешиться мечом, одежду свою и саблю давал подержать молодому наперснику, к которому благоволил. И как-то один из друзей и близких приятелей сказал шутя мучителю Дионисию: «Уж не тому ли молодому наперснику и жизнь свою вверяешь?», что услышав, наперсник рассмеялся, и за этот смех повелел мучитель и наперсника своего убить, и приятеля. Приятеля за то, что намекнул ему на возможность убийства, а наперсника за то, что эти слова или вопрос подкрепил смехом. И после этого поступка мучитель Дионисий не бывал веселым до самой смерти.

Один философ был спрошен гетманом или воеводой, как можно властвовать и не быть порицаемым. Философ ответил: «Если никогда не дашь в себе вспыхнуть гневу». И тем самым подтвердил, что гнев — большая помеха во всех делах. Не может ведь здраво рассуждать тот, кто охвачен гневом, хотя бы и был он мудрым: поистине запутается в своих делах.

Мудрец Аристотель уподоблял и приравнивал гнев к дыму: в дыму человеческие глаза замутиятся и теряется зрение, и невозможно видеть вещи, находящиеся перед глазами. Так же и человек, когда распалится гневом, то затуманится разум его и ошибок своих не сможет увидеть.

Всякий начальник и судья, поставленный решать дела, должен держаться правды и судить, как записано в судебныхниках. И не должен он смотреть на посулы и позволить отвести себя от истины, чему есть немало примеров. Так во времена Камбиза, царя персидского, судья Сисанес, получая взятки, судил несправедно и лукаво. Когда об этом сказали царю Камбизу, то он повелел содрать с него кожу, а потом и его самого удавить, а кожу, содранную с тела, велел повесить там, где сидели судьи. А потом поставил судьей сына его, Отана, и сказал ему такие слова: «Помни, на каком месте сидя, судишь».

Бияс, судья, осудив на смерть одного виновного человека, стал плакать, жалея бедную человеческую жизнь. Но когда его спросили, почему он плачет, если в его воле было казнить или освободить человека, Бияс ответил: «Хорошо показать милосердие к человеку, но от закона и истины отступить дело опасное и неподобающее судейскому чину». Следует собирать людей мудрых и богобоязненных, которые были бы праведными и гнушались бы мздоимства. А те, кто жаждет богатства и денег, не могут честно судить.

Пример тому — два начальника города, называвшегося Олиф, по имени Листенес и Евтикрастес, которые, прельстившись подарками и посулами, сдали город македонскому царю Филиппу. Поэтому Филипп не раз повторял свои слова, что ни один город не построен и укреплен настолько хорошо, чтобы его невозможно было бы взять, если в него войдет осел или конь с большим мешком золота. Ибо нет более жестокого и страшнейшего дела, чем мздоимство, из-за которого погибают многие государства.

## Симеон Полоцкий

### Об авторе:

#### **Н.И. Прокофьев ВЕРШИ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО**

*Симеон Полоцкий (1629—1680), белорус по национальности, сыграл большую роль в истории русской литературы и просвещения. Он считается основателем русского силлабического стихосложения и одним из зачинателей русской драматургии. Ему принадлежат многочисленные вирши, объединенные в сборниках «Вертоград многоцветный», «Рифмологион», «Псалтырь рифмотворная», «Орел Российский», драмы «Комедия притчи о Блудном сыне» и «Комедия о царе Навуходносоре», многие слова и поучения, богословско-полюемические статьи. Полностью сочинения Полоцкого еще не издавались.*

*В сборнике «Вертоград многоцветный» (вертоград — сад) разнообразные по темам стихи предназначались для того, чтобы, развлекая, поучать и просвещать, быть своеобразным стихотворным энциклопедическим или толковым словарем. «Рифмологион» — это сборник стихотворных приветствий и пожеланий царю, царской семье и приближенным ко двору лицам. «Псалтырь рифмотворная», оказавшая большое влияние*

на юного М. В. Ломоносова, — это сборник переложенных на силлабические стихи псалмов. В 1680 г. певчий дьяк В. П. Титов на эти псалмы написал музыку. Печатаются отрывки из сборников «Вертоград многоцветный» и «Рифмологион» по изданию: Полоцкий Симеон. Избранные сочинения / Подготовка текста, статья и комментарии И. П. Еремина. М.; Л., 1953.

**ПРИВЕТСТВО БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕМУ, ТИШАЙШЕМУ,  
САМОДЕРЖАВНЕЙШЕМУ ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ ЦАРЮ  
И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ АЛЕКСИЮ МИХАЙЛОВИЧУ, ВСЕЯ  
ВЕЛИКИЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОССИИ САМОДЕРЖЦУ  
О ВСЕЛЕНИИ ЕГО БЛАГОПОЛУЧНОМ В ДОМ, ВЕЛИИМ  
ИЖДИВЕНИЕМ, ПРЕДИВНОЮ ХИТРОСТИЮ, ПРЕЧЮДНОЮ  
КРАСОТОЮ В СЕЛЕ КОЛОМЕНСКОМ НОВОСОЗДАНЫЙ<sup>1</sup>**

Добрый обычай в мире содержится:  
В дом новозданный аще кто вселится,  
Вси друзи его ему приветствуют,  
Благополучно жити усерствуют,  
И дары носят от серебра и злата,  
И хлеб, да будет богата палата

Нищ ли кто в злато, руке воздевает  
К Богу и молбы теплы возсылает,  
Да подаст здраво и щастливо жити,  
Имже даде в дом новый ся вселити.  
Аз сей обычай честный похваляю  
И сам усердно ему подражаю,  
Видя в дом новый ваше вселение,  
В дом, иже миру есть удивление,  
В дом, зело красный, прехитро созданный,  
Честности царстей лепо сготованный.  
Красоту его мощно есть равняти  
Соломоновой прекрасной полате.  
Аще же древо zde не есть кедрово,  
Но стоит за кедр, истинно то слово;  
А злато везде пресветло блистает,  
Царский дом быти лепота являет.  
Написания егда возглядаю,  
Много историй чюдных познаваю;  
Четыре части мира написаны,  
Аки на меди хитро извааны.  
Зодий небесный чюдно написася<sup>2</sup>,  
Образы свойств си лепо знаменася;  
И части лета суть изображены,  
Яко достоит, чинно положены;  
И ина многа дом сей украшают,  
Разумы зрящих зело удивляют.  
Множество цветов живонаписанных  
И острым хитро длатом изваанных,  
Удивлятися всяк ум понуждает,  
Правый бо цветник быти ся являет.  
Едва светлее рай бе украшенный,  
Иже вначале Богом насажденный.

Дом Соломонов тем славен без меры,  
Яко ванны\* име в себе зверы.  
И zde суть мнози, к тому и рикают,  
Яко живии лви глас испущают,  
Очеса движут, зияют устами,  
Видится, хошут ходити ногами.  
Страх приступити, тако устроении,  
Аки живии лви суть посаждении<sup>3</sup>.  
Окна, яко звезд лик в небе сияет,  
Драгая слюдва, что серебро, блистает.  
Множество жилищ градови равнится,  
Вся же прекрасна, — кто не удивится!  
А инех красот не леть ми вещати,  
Ум бо мой худый не может объяти.  
Едином словом, дом есть совершенный,  
Царю великому достойне строенный;  
По царстей чести и дом зело честный,  
Несть лучши его, разве дом небесный.  
Седьмь дивных вещей древний мир читаше<sup>4</sup>,  
Осмый див сей дом время имать наше...

---

<sup>1</sup> «Приветство» написано в связи с завершением строительства царского дворца в с. Коломенском (ныне это село входит в черту Москвы). Постройка была начата в 1666 г. и окончена в 1671 г. Дворец поражал современников своей красотой. В нем было 270 комнат, 3000 окон. Сохранившиеся рисунок Ф. Гильфердинга, акварель Д. Кваренги и деревянная модель Д. Смирнова могут лишь приблизительно передать сказочную роскошь дворца. Терема, башенки, живописные кровли разных типов, шатровые навесы над крыльцами, витые столбики, затейливые решетки, крашенная золоченая резьба, резные ставни и карнизы, фантастические изображения зверей, птиц, растений, печи из ярких цветных изразцов, дубовые резные лавки, зеркала и слюдяные окна — все это производило потрясающее впечатление. Коломенский дворец — образец стиля барокко в русском искусстве.

<sup>2</sup> Имеются в виду 12 созвездий зодиака: Овен (агнец), Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. С. Полоцкий Козерога называет «козлом рогатым» и имеет в виду турецкого султана Мухаммета IV.

<sup>3</sup> В подражание библейскому дворцу Соломона были сооружены «живые львы», которые двигали глазами, рычали, открывали пасти: туловища их были медные, оклеенные бараньими шкурами под львиную статью. Весь этот механизм приводился в движение из соседней комнаты.

<sup>4</sup> Имеется в виду 7 чудес мира: египетские пирамиды, храм Артемиды в Эфесе, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса работы Фидия, мавзолей в Галикарнасе, колосс в Родосе, Фарос (маяк) в Александрии.

Монаху подобает в келий седети,  
Во посте молитися, нищету терпети,  
Искушения врагов силно побеждати  
И похоти плотския труды умерщвляти, —  
Аще хочет в небеси мзду вечную взята,  
Неоскудным богатством преобиловати.  
Пагубно же оному по граде ходити,  
Из едина в другий дом переходяще пити.  
Но увы безчиния! Благ чин погубися,  
Иночество в безчинство в многих преложися.  
О честных несть zde слово: тыя почитаю,  
Безчинныя точию с плачем обличаю.  
Не толико миряне чревы работают,  
Елико то монаси поят, насыщают.  
Постное избравши житие водити,  
На то устремися, дабы ясти, пити...  
Множицею есть зрети по стогнам лежащих,  
Изблевавших питие и на свет не зрящих,  
Мнози колесницами возими бывают,  
Полма\* мертвии суще, народ соблазняют.  
Мнози от вина буи сквернословят зело,  
Лают, клеветуют, срамят и честныя смело...  
Оле развращения! ах, соблазнь велика!  
Како стерпети может небесе владыка!  
В одеждах овчих волци хищнии бывают,  
Чреву работающе, духом погибают.  
Узриши еще в ризы красны облеченны,  
Иже во убожество полное стриженни.  
Ни жених иный тако себе украшает,  
Яко инок несмысленый, за что погибает,  
Ибо мысль его часто — да от жен любитися;  
Под красными ризами, увы! дух сквернится,  
Таковии ко женам дерзают ходити,  
Дружество приимати, ясти же и пити;  
Сродство себе с оными ложне поведают,  
Или тетки, матери, сестры нарицают...  
Престаните, иноцы, сия зла творити,  
Тщитесь древним отцем святым точни быти.  
Да идеже они суть во вечной радости,  
Будете им общници присныя сладостей!

### ЖАБЫ ПОСЛУШЛИВЫЯ

Брат некий в обители смиренно живяше  
И без прекословия начальных слушаше.  
Тамо близ бяше блато, во немже живяху  
Многи жабы и воплем своим досаждаху  
Молящимся иноком. Такожде случися  
Жабам кричати, егда жертва приносися.

Начальник, не претерпев, инока послаше,  
Да велит им молчати ему завещаше.  
Се же рече смеяся, а брат послушливый,  
Вправду посланна себе быти помысливый,  
Иде к жабам и рече: «Именем Христовым  
Завещаю вам, жабы, не быти таковым.  
Престаните отселе досадно кричати!»  
Отголе гласа тамо жаб не бе слышати.  
Ныне же человеци во церкви стояще,  
Молбы си при безкровной жертве приносяще,  
Многим глаголанием досады творяют.  
Речеши ли молчати, никако слушают,  
Еще огорчившися, хулят иерея,  
Обличения злобы не любят своєю.  
Наипаче сокочут\* язычныя бабы,  
Досаждающе паче, неже овы жабы.  
Тщитесь убо, бабы, жабы подражати,  
Во время жертв духовных глас свой удержати.

### ПИЯНСТВО

Человек некий винопийца бьяше,  
Меры в питии хранити не знаше.  
Темже многажды повнегда уписа,  
В очию его всяка вещь двоися,  
В едино время прииде до дому  
И вся сугуба\* зрешася оному.  
Име два сына, иже предстояста, —  
Ему четыре во очию стапта.  
Он нача жену абие мучити,  
Дабы ему правду хотела явити,  
Когда два сына новая родила  
И с коим мужем она прибудила.  
Жена всячески его увещаше:  
Вино виновно быти сказоваше.  
Но он никако хоте веры яти,  
Муку жестоку нача умышляти.  
Взял есть железо, огнем распаяше,  
Ко жене бедней жестоко вещаше:  
«Аще ты инем мужем не блужденна,  
Сим не будеши огнем опаленна.  
Аще же с инем блуд еси творила,  
Имать ожещи ты огненна сила».  
Бедная жена в люте беде бьяше,  
Обаче умно к нему глаголаше:  
«Рада железо огненное взяти,  
Невинность мою тебе показати,  
Токмо потщися своєю рукою  
Подати оно ты на руку мою».  
А все железо распаленно бьяше,  
Чесо пьяный во ум не прияше.  
Ятса железа, люте опалися,  
Болезни ради в мале отрезвися.

И се — два сына точно видяше,  
Невинность жены, свою вину знаше,  
Срамом исполнен, во печали был есть  
И прощения у жены просил есть.  
Тако пьянство ум наш помрачает.  
Всяк убо того верный да гонзает\*!

## ЯЗЫК

Малая часть телесе язык человека,  
но не виде злейшия ничто же от века,  
Ибо аще малое слово изпускает,  
хулно или клеветно, многи убивает.  
Легко оно исходит, но язву велику  
и зело тяжку в сердце деет человеку;  
Мягко аер проходит, но в сердце жестоко  
вонзает ся и рану творяет глубоко;  
Из уст, яко же птенец малый, излетает,  
но яко велбуд с горбом абие\* бывает.  
И никими мерами может ся сокрити,  
весть же сердца человек многих озлобити.  
Убо разсудно слово всякое пушайте,  
да не будет стрелою, прилежно смотряйте;  
Аще бо яко стрела поидет, то вратится  
не к языку, но в сердце и смерть приложится.

## XVIII век

### РАЙСКИЕ ЦВЕТЫ.

#### **О произведении:**

*"Райские цветы, помещенные в семи цветниках" - первое за более чем 200 лет переиздание редкой масонской книги, анонимного перевода избранных двустиший из прославленного творения европейской мистики XVII в., «Херувимского странника» Ангела Силезского. «Райские цветы», весьма ценившиеся русскими масонами, изымались и уничтожались в период гонений на масонство в конце XVIII в. До наших дней дошли лишь считанные экземпляры издания. В сопроводительной заметке обрисовано место «Райских цветов» в кругу масонского чтения и даны некоторые сведения по истории книги.*

*«Райские цветы, помещенные в семи цветниках» - одно из тех редкостных масонских изданий, какие мало кому доводилось видеть, тем паче держать в руках. В качестве предмета библиофильской страсти книжка эта, изданная Н. Новиковым в московской Университетской типографии в 1784 г., упоминалась у Ю. Битовта, считавшего ее собранием «массонских гимнов»; коллекционер и библиограф А. Бурцев сообщает о ней следующее: «В книге описано семь цветников, или глав, и содержат в себе превосходную нравственную философию. Это не большая, но довольно редкая книжка». Похоже, только Г.Вернадский впервые сумел отойти от общих описаний библиофильского свойства и установить, что «Райские цветы» представляли собою отнюдь не сборник гимнов или сочиненных русскими масонами нравоучительных стихотворений, но избранные переводы из выдающегося творения европейской мистики XVII в., «Херувимского странника» Ангела Силезского (И. Шеффлера). Имя переводчика осталось неизвестным; опираясь на некоторые стилистические признаки, возможно с*

осторожностью предположить, что над книгой трудилось несколько переводчиков, быть может, видевших в переложениях афористических двустиший Ангела Силезского духовное упражнение.

Самая редкость «Райских цветов» способствовала их малой известности: так, в обширном предисловии к собственному полному переводу «Херувимского странника» Н. Гучинская никак не упоминает о существовании этой книги и относит бытование Шеффлера на русском языке к XX в., исследователи же, исключая Вернадского и Н. Пиксанова, в целом обходят вопрос о влиянии Ангела Силезского на российских масонов. Меж тем, о важности, придававшейся «Райским цветам» в масонско-розенкрейцерских кругах, может намекнуть хотя бы то обстоятельство, что книжка эта не только была выпущена отдельным изданием, но и вошла составною частью в три издания напечатанной и, весьма вероятно, составленной И. Лопухиным «Избранной библиотеки для христианского чтения» (1784. 1786. 1787 гг.) - книги, предназначенной для распространения масонских духовных и нравственных идеалов. Именно «Избранную библиотеку» московские розенкрейцеры передали через зодчего-масона В. Баженова известной особе, как в 1792 г. на допросах Новикова и его сотоварищей именовался цесаревич Павел. «Избранная библиотека для христианского чтения» в целом и «Райские цветы» в частности мыслились ступенью в приуготовлении наследника к роли «Преемника первородного Святого Царя - Великого Мастера русской ветви ордена».

Как можно видеть, «Райские цветы» относились к масонскому «благочестивому чтению»: книгам, изучение которых возводилось в ритуал и прокладывало путь к мистическому познанию Божественного промысла. «Приготовляй душу твою к чтению, во-первых, чистым намерением, дабы искать единственно успеха души твоей. Потом кратким возвышением мыслей, испрашивая себе с небес дарования света разума или благодати, дабы дух твой был способен и удобен к ценному, чтобы ты познал, чего Бог требует от тебя, имея при том истинное и непритворное предположение, решимость самым делом исполнять познанную волю Божию», - говорилось в наставлениях братьям.

«Читать должно не скоро, или мимоходом и не поспешно, но тихо, важно и с великим вниманием, с должным меднением и остановкою». Девиз составителя этих поучений, виднейшего масона и государственного деятеля С. Ланского, «Из смерти жизнь», звучал цитатою из Ангела Силезского («Славнее смерти нет, как той, что жизнь дает: / Той жизни нет славней, из смерти что течет»). И впрямь, в поэтических афоризмах Шеффлера российские масоны находили созвучие своей замороженности смертью и влечению к ней как к венцу жизни, овеооождающему дух из оков суетного материального мира («Свободным учинить коль смерть меня должна; / Так верно лучшая на свете вещь она»). Близки им были и призывы Ангела Силезского к отрицанию мирских соблазнов и искушений «света» во имя «сосредоточения внутрь себя», по словам Вернадского. Это состояние «всечасного умирания», в согласии с определением Шеффлера («Твой разум умертви и мира суеты»), вело масона к идеалу отрешенности и внутреннего спокойствия, обусловленному избавлением от ложных желаний, к выявлению и воспитанию «внутреннего человека», познающего тайны Натуры и в итоговом исхождении из себя («Из тела выли вон, но и войди в себя») сливающегося с Божеством.

Влиянием Ангела Силезского, как отмечал еще Пиксанов, проникнута и самостоятельная русская масонская поэзия: в этой связи надобно назвать не только анонимные масонские гимны и песни и малозначимых стихотворцев-масонов, но прежде всего М. Хераскова. Однако влияние это распространилось далеко за пределы масонской поэзии - отзвуки его слышны у Л. Толстого, изучавшего при работе над «Войной и миром» масонскую литературу, включая хранившиеся в Румянцевском музее рукописи из собрания историка С. Ешевского и упоминавшегося ранее С. Ланского. Масон Безухов, восклицаящий во французском плену: «Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!», лишь повторяет Шеффлера: «Хоть в тысящи меня оков ты заключишь; / Парящий к Богу дух свободы не лишишь».

*В кругу масонского чтения к Ангелу Силезскому примыкали такие повлиявшие на немецкого мистика авторы, как В. Вейгель (его «Простосердечное наставление к молитве» было издано Новиковым, переводились и другие сочинения), А. Франкерберг и, конечно же, «блаженный Иаков Бем»: хорошо известны были масонам и впитавшие наследие Ангела Силезского германские пиетисты, а также высоко чтимый масонами И. Арндт. При том, у Шеффлера. судя по «Райским цветам», российских масонов интересовала в первую очередь несколько тяжеловесная, барочная дидактичность, близкая к масонской образности: в отобранных к переводу двустихиях едва сохранены следы радикальной мистики Ангела Силезского, уподоблявшего человека Божеству, а духовного странника - Деве Марии, рождающей в себе Бога.*

*Остается сказать несколько слов о судьбе печатных изданий первого русского перевода Ангела Силезского. После указа Екатерины II от 27 июля 1787 г. о запрете торговли духовными книгами, изданными! в светских типографиях, в московских книжных лавках было конфисковано 183 экз. «Райских цветов» и 758 экз. двух изданий «Избранной библиотеки». Книги эти по указу Синода от 1788 г. были позднее возвращены владельцам, но после ареста Новикова в 1792 г. и «Райские цветы», и «Избранная библиотека» вновь попали в число запрещенных либо изданных без указного дозволения книг, отобранных следователями в московских книжных лавках. Новосозданный цензурный комитет архимандрита Мефодия нашел в «Избранной библиотеке» некоторые «темные места, в коих усматриваются мысли, не сходствующие с разумом нашей Церкви». Схожим было и заключение касательно отдельного издания «Райских цветов»: «В сей книге находятся мысли в некоторых местах не сходствующие с разумом нашей Церкви». Отсюда можно с большой долей вероятности заключить, что значительное число экземпляров этих книг погибло в 1793 г. при сожжении масонских изданий.*

*Настоящая книга воспроизводит без изменений и изъятий текст «Райских цветов» по новиковскому изданию 1784 г.*

## ЦВЕТНИК ПЕРВЫЙ

1.

Бог есть чистейший огонь, я свет сего огня;  
Так будем мы одно, коль внидет Бог в меня.

2.

Я Божией любви любовью отвечаю;  
Так то Ему плачу, что сам я получаю.

3.

Когда ты знаешь что, что любишь, ненавидишь;  
Так верь мне, что еще свободы ты не видишь.

4.

Свободным учинить коль смерть меня должна;  
Так верно лучшая на свете вещь она.

5.

Не движет нас ничто, не правит никуда;  
Мы сами колесо, вертящаяся всегда.

6.

Спокойно в аде кто в бедах не может жить,  
Тот Господу еще не начинал служить.

7.

Люблю едину вещь, но вещи той не знаю;  
Так для того ту вещь любить и начинаю.

8.

Равно печаль и скорбь терпящий человек,  
От Божьих совершенств конечно недалек.

9.

Ты Богу не скучай! в тебе источник сей:  
Коль не замкнешь его, в плоти прольется всей.

10.

Хоть крест Спасителей на высоте стоит:  
Но не в тебе сей крест; он блага не дарит.

11.

Хотя воскрес Христос; спасенья ты не зришь:  
Коль в гробе сам еще твоих грехов лежишь.

12.

Коль Бог есть огонь, так будь костром, о сердце! ты,  
В котором древеса сожгутся суеты.

13.

Не только должны мы на свете все любить;  
Но сами, яко Бог, любовью должны быть.

14.

Бог вечный есть покой, не хочет ничего:  
Не хочешь коль и ты, так образ ты Его.

15.

Постой! куда бежишь? В тебе блаженства суть;  
Коль Бога ищешь вне, неправеден твой путь.

16.

Бог сладкой сон во мне, и что во мне цветет,  
Так силу цвествь тому Дух Божий подает.

17.

Кто сам в себя войдет, тот слышит Божье Слово:  
По всем местам оно тебя учить готово.

18.

Кто с Богом съединен, не гибнет сей во веки,  
Хоть в смерть низвержен он, хоть в тартаровы реки.

19.

Я Богу предаюсь, хоть стану сокрушаться;  
Но буду будто бы от радости смеяться.

20.

Как скороБожий огонь растопит мя всего,  
Мой прежний вид отдаст мне существо его.

21.

Коль в мире человек какую знает радость,  
Так тот не ведает, какая в Боге сладость.

22.

Хоть в тысячи меня оков ты заключишь;  
Парящий к Богу дух свободы не лишишь.

23.

В начале завсегда источник чист и ясен:  
Коль пьешь не из того, напиток сей опасен.

24.

Коль око зрением желает пресыщаться,  
Утратить может свет и в век слепым остаться.

25.

Бог вечное добро. Болезни, муки, ад  
Все злости, человек! в тебе одном лежат.

26.

Коль верны Богу мы, хоть страждем, хоть скучаем,  
Все в мире горести нам будут светлым раем.  
27.

Когда о чемнибудь крушишься, душу льстишь:  
Так в гробе со Христом не весь еще лежишь.  
28.

Чем больше смертный сам исходит из себя,  
Тем должен больше Бог вливаться сам в тебя.  
29.

И ад и небеса во сердце суть твоим;  
Так что ты изберешь, во веки будешь с тем.  
30.

Что агнец есть Христос, напрасно веселюся,  
Коль агнцем Божиим я сам не учинюся.  
31.

Когда младенцем ты не учинишься сам,  
Не внидешь в узку дверь ко Божиим сынам.  
32.

Кто будет тако чист, как первый Божий свет,  
Того невестою Всевышний назовет.  
33.

При Божьем агнце ты коль хочешь в век стоять,  
Так должно здесь еще во след за ним ступать.  
34.

Премудрость смотрится сама в свое зеркало:  
Ты зеркало сие, она твое начало.  
35.

Колико в Боге дух, в душе сам Бог толико:  
Сие смешение и свято и велико.  
36.

Не там наш Бог; не здесь! Себя тому Он кажет,  
Чьи ноги, руки чьи, чью плоть и душу свяжет.  
37.

Не хлеб питает нас: что в хлебе насыщает,  
В том Слово Божие дух, силу, жизнь вмещает.  
38.

Кто просит о земном, подобен тот слепцу,  
Тот тварям молится, не молится Творцу.  
39.

Что солнца луч вредит взиранию твоему,  
Причиною ты сам, не Божий свет тому.  
40.

Что есмь я наконец! ... Я храмом Божьим слыть,  
И камнем, и жрецом, и жертвой должен быть.  
41.

Кто сыном Божьим быть в душе не закланется,  
Тот в яслех меж скотов с рабами остается.  
42.

Кто служит Господу из платы, из блаженства,  
Тот Божиих сынов не ищет совершенства.  
43.

Во Вифлиеме Бог хотя стократ родится,

А не в твоей душе; твой дух не просветится.

44.

Колеса мысли суть, ты сам рождаешь время:

Коль мысли суетны, оно для мыслей бремя.

45.

Коль новых ты людей знать хочешь имена;

Спроси, как звался Бог во всяки времена.

46.

Излишков не люблю, и мой умерен вкус;

Но дай мне то, мой Бог! что мой имел Иисус.

47.

Бог царства не дает небеснаго тебе;

Сам царство привлеки всей силою к себе.

48.

Что больше любит Бог, покой, или труды?

Бог любит все сие, так делай то же ты.

49.

Не мысли человек, антихрист кто и зверь;

Коль ты не Божий сын, так ты сие теперь.

50.

Из Вавилона ты когда не убежишь,

Сам будешь им, в себе языки разделишь.

51.

Гнев адский пламень есть, когда ты им горишь;

Так Божий одр в себе и жжешь ты и сквернишь.

52.

Твоя со Божеством соединенна доля,

Коль ты всегда твердишь, да будет Божья воля!

53.

Коль любишь ты Христа, когда Им весь горишь,

Ты храминой себя Христовой учинишь.

54.

Быть сыном Божиим себя определи;

Небесно царство ты получишь на земли.

55.

Невеста! бодрствуй ты, Жених к тебе грядет;

Коль не готова ты, так с ним и брака нет.

56.

Коль рая, человек, в душе твоей не зрится;

Так верь, что вечно в нем не можешь водвориться.

57.

На Божиим пути кто медлит и стоит,

Погибнет и следы ко аду обратит.

58.

Что есть девичество? Спроси, что есть твой Бог?

Будь чист в душе, дабы познать обоих мог.

## ЦВЕТНИК ВТОРЫЙ

1.

От чистого наш Бог так близок естества,

Что без него постичь не можно Божества.  
2.  
Коль к Богу человек не хочет возвышаться,  
То человеком он стыдится называться.  
3.  
Что Бога должен я любить в душе моей;  
То пламенным пером написано на ней.  
4.  
На горы кто взойдет, иль на высоки дома,  
Не стоит ничего, когда блистают громы.  
5.  
Ты новый сделался теперь Иерусалим,  
Коль в Духе Божиим ты возродился Им.  
6.  
О еслиб яслями ты сердце учинил!  
Младенца в нем еще твой Бог бы положил!  
7.  
Коль кто имеет что, но будто не имеет,  
Тот в бедности богат, в богатстве тот беднеет.  
8.  
Когда, отвергнув мир, имеешь ты спокойство,  
То Божие с тобой соединенно свойство.  
9.  
Хоть жив, хоть умер ты, не должен ты тужить;  
И Богу умереть и Богу должно жить.  
10.  
О грешник! обратись и Бога знать старайся,  
Найдешь ты в Нем Отца, нашед не отвращайся.  
11.  
Коль кровь Христову пьешь, но плод принести забудешь,  
Ты как смоковница во веки проклят будешь.  
12.  
Коль хочешь, чтоб Господь очистил дух бы твой,  
Так сердце учини ты масличной горой.  
13.  
Не держит свет тебя, ты сам есть целый свет;  
В тебе он весь, тебе оковы он кует.  
14.  
Бог сделал все для нас: но тщетны благи оны,  
Когда мы в Нем Самом не обретем короны.  
15.  
Терпенье всех вещей и золота дороже,  
Все дашь мне за него, что Ты имеешь, Боже!  
16.  
Кто кроток сам в себе, не робок в Божестве,  
Тот агнец есть и лев в едином существе.  
17.  
Коль стал ты голубем и чистоту хранишь,  
Тогда гнездо Христу ты в сердце учинишь.  
18.  
Уединяйся ты, беседуй в Божьем Сыне;  
Так будешь ты везде, подобно как в пустыне.

19.

Коль Христианин ты, старайся всех любить.  
Нет! Агнец никогда не может тигром быть.

20.

Знать хочешь, в мире мне милее что всего?  
Несоблазняему прожить ни от чего.

21.

Изыди! Бог придет; умри! ты в Нем живешь;  
Соделайся ничто, так в свете все найдешь.

22.

Что в мире свято есть? ... На что такой вопрос?  
Коль святость есть не ты, так святость есть Христос.

23.

Какая лучшая для сердца в мире доля?  
Уничужение, любовь, Христова воля.

24.

Не медли, человек, лишь только пожелай:  
Ты в Боге, Бог в тебе, в тебе небесный рай!

25.

Кому ничто как все, а все как ничего,  
Лице Господнее отверсто для того.

26.

Ах! каждый грешник слеп; чем больше он спешит,  
Тем паче все труды и портит и темнит.

27.

Кто на одинаго взирает в жизни Бога,  
Тот будет Херувим, Бог сам его дорога.

28.

Кто властвует своей душею в мире сем,  
Тот будет в Божием наследии Царем.

29.

Дракона умертвил и кто попрали змию,  
С Еммануилом тот делит судьбу свою.

30.

Два слова я люблю: изыти и вступить:  
Изыти из себя и во Христа войти.

31.

Будь беден, кроток, нищ, будь гладен и гоним:  
Тебя утешит Бог, трапезу вкусишь с Ним.

32.

Толико Господу приятна чистота,  
Как перед тернами лилеи красота.

33.

Крещаться надлежит; но кто огнем крестится,  
Тот в пламени во век не может утопиться.

34.

Что грешник ты крещен, не хвастай тем гордясь;  
В навозе лилия один навоз и грязь.

35.

Дивишься ты, что яне вижу ничего,  
Я только зрю лучи лишь солнца своего.

36.

Обижен, унижен, осмеян, презрен я,  
Без пищи, без чинов: вот сан и честь моя!  
37.

Будь светом в Божестве, будь сын во свете мой,  
Ты будешь дьяволу отравой и тьмой.  
38.

Христова смерть, мой сын, не пользует тебя,  
Когда ты в Нем Самом не умертвишь себя.  
39.

Коль малым Сам Иисус великаго нарек,  
Хощу младенец быть невзрослой человек.  
40.

Коль памятуешь то, что наши кратки дни:  
Не будут во грехах, как воды, течь они.  
41.

Осадой можешь ты небесно царство взять,  
Любовью действуй; Бог не может устоять.  
42.

Коль кБогунетлюбви, начтоидарованья?  
Высоки здания падут без основанья.  
43.

Господний образ весь в душе изображен:  
Блаженна! естли в ней он чисто положен.  
44.

Когда ты пренебрег все мира суеты,  
Как роза процветешь в саду Едемском ты.  
45.

Кто хощет розовых в раю цветов искать,  
По тернам должен тот на сей земли ступать.  
46.

Прозябни, человек, прозябни! близок Май:  
Коль ныне не цветешь, во веки застывай.  
47.

Душа по Господе есть лучше всех вещей;  
Но хуже есть всего, когда нет Бога в ней.  
48.

Во власти дьявола одной песчинки нет;  
Колико нищ тот раб, кого он в плен возмет!  
49.

Когда развратендух, а видомтыкрасив;  
Так в гробе ты мертвец, хоть кажешься и жив.  
50.

На свете радостей Господний раб не знает;  
Почтож? Затем, что он всечасно умирает.  
51.

Коль хощешь быть блажен, не в злато облекись:  
Но душу убелив Создателю явись.  
52.

Храни ты чисту плоть; влагалище она,  
Где светлость Божия лица положена.  
53.

Бог, дьявол, мир, ко мне все в грудь войти хотят;

Знать сердце дорого они мое ценят!

54.

Я храм Всевышняго, и в ребрах Бог моих;

Когда я сердцем чист, святая есмь святых.

55.

В нас сердце есть олтарь, а воля жертва есть:

Священник в нас душа, чтоб волю в дар принести.

56.

Когда тыгрех в себеискверну умертвил;

Так стал поправший ты дракона Михаил.

57.

Имеешь человек коль в Боге жить охоту;

Так начал вечную в сей жизни ты субботу.

58.

Коль чисты души в нас, подобно как Мария;

То души с Богом в брак вступают таковыя.

59.

О Боже! временных, иль вечных благ ищу,

Все будь, как хочешь Ты, не яко я хочу.

### ЦВЕТНИК ТРЕТИЙ

1.

Владеет кто собой и кто страстями правит,  
Того нелестно мир Царей превыше ставит.

2.

В жизнь вечную отсель дорогу взять прямую,  
Так ты поставь сей мир, поставь его ошую.

3.

Увы! любовь мертва: но как она скончалась?  
От стужи; ах! она никем не воспалялась.

4.

Спокоен в духе будь, Бог в бурях не приходит;  
Ни пламень Бога в нас, ни гром не производит.

5.

О дева! убелись, зажги светильник твой,  
Иль никогда жених не вступит в брак с тобой.

6.

Коль сердце вычистив, в нем Бога заключишь;  
Так вечно пленником ты Бога учинишь.

7.

Кто сердцем чист и жизнь найдет в вине и хлебе,  
И в Бога кто влюблен, уже ликует в небе.

8.

В союзе с Богом быть и Бога понимать  
Есть лучше во сто крат, чем все науки знать.

9.

Кто ходит без любви, тот в небо не пойдет;  
Он слеп и ощупью проходит здешний свет.

10.

Бог видит все, на сей пространный мир воззрев:  
Не зрит лишь злых мужей, ни развращенных дев.

11.

Премудрый в мире сем желает одного;  
Безумный всех вещей: чтож същет? ... ничего.

12.

Коль хочешь узнавать о Божиих друзьях:  
Страх носит Божий друг и в сердце и в руках.

13.

Коль Бога ты обнять желаешь твоего,  
Все брось и не имей в руках ты ничего.

14.

Сражайся ты, доколь порфирой не одеян:  
Кто в брани упадет, бывает тот посмеян.

15.

Не унывай, душа! не в наши времена  
Корона в вечности святым посудена.

16.

Господний дух весь мир живит, одушевляет,  
Где ж грешник есть, когда он сей души не знает?

17.

Желаешь взять жену, прекрасну как лилею;  
На мудрости женись, так все получишь с нею.

18.

Премудрость Бога зрит, любовь его объмлет.  
Почто и не любовь? почто и мудрость дремлет?

19.

Премудрый слов своих без нужды не плодит;  
Хоть мало, но всегда довольно говорит.

20.

Ни жизни для сует, ни крови не щадят;  
А ради вечных благ вздохнуть не захотят.

21.

Знать много хорошо: но больше в том утех,  
Коль как младенцу чужд кому бывает грех.

22.

Терпи, коль хочешь быть ты с Богом в сообщенье;  
Ты должен сорок лет пребыть во искушенье.

23.

Нет жен и нет мужей, где области Царевы;  
Там девы Ангели, и Ангели там девы.

24.

Оставь, оставь все то, что в мире ни приятно:  
Заплатит в вечности за все твой Бог стократно.

25.

О чудо! все течет, дабы притти к покою;  
Лишь грешный человек мятется мыслью тою.

26.

Утехи в Божестве, в дияволе мученье.  
Подумай грешник ты, с кем лучше быть в сообщенье?

27.

Бегу я от людей, но не сижу один  
Как быть мне одному! со мною Божий Сын.

28.

Коль есть тычтонибудь, не стой, мойдруг, иди,  
Из света одного в другой переходи.

29.

Душа дороже всех сокровищ быть должна;  
Затем, что есть душе Господня кровь цена.

30.

Кто любит Господа, злодеев тот прощает;  
Тот молит за врагов, добром за зло отмщает.

31.

Старайся, нежна мать, дитя твое хранить:  
Твой враг старается во тьму твой плод пленить.

32.

Нам агнец из себя вечерю сотворил:  
На что? ... он тем врата к спокойствию отворил.

33.

Ах! что такое грех? грех то, кто хочет скрыться  
От Божия лица и к смерти обратиться.

34.

Не можно ничего меня чудней найти;  
Могу я по делам иль Бог, иль дьявол быть.

35.

Умри заранье ты, дабы, умрешь когда,  
Не весь ты умерев разрушился тогда.

36.

Коль грешник даст вопрос: как благо получить?  
Ответствуй: Господа начни душой любить.

37.

Которы к Господу хотят взлететь сердца,  
От тварей да бегут, дабы найти Творца.

38.

Подобно как паук из розы яд сосет,  
Так злоба толк худой писаниям дает.

39.

Нас к Богу Бог ведет, ко дьяволу сей мир.  
Ах! смертным для того приятен сей кумир.

40.

Люблю одних детей, люблю одних девиц:  
Почтож? на небесах иных не будет лиц.

41.

Смерть красит нашу жизнь, конец венчает дела:  
Коль счастлив, сердце чье при смерти Богом тлело!

42.

Славнее смертинет, кактой, чтожизнь дает;  
Той жизни нет славней, из смерти что течет.

43.

Премудрый в суетах не тратит ни часа:  
Мир скука для него, утеха небеса.

44.

Нас хитростями наш враг разит и побеждает,  
Святою хитростью и побежден бывает.

45.

Ты уголь человек, Бог пламень твой и свет;  
Ты черен и студен, тебя коль в Боге нет.  
46.

Что нужно для тебя, то все в тебе лежит;  
Коль ты не действуешь, все то в тебе и спит.  
47.

Тебе постыл сей мир, и то благоразудно;  
Но знай, что собственну любовь отвергнуть трудно.  
48.

Приятней Божеству такого брака нет  
Как Сына кто Его в утробе понесет.  
49.

Коль сердцем Бог твоим, о грешник! овладеет,  
Сыновий образ Он на нем запечатлеет.  
50.

Старайся быть теперь блаженным, человек!  
Все поздно для тебя, когда пройдет твой век.  
51.

Душа девица есть, и каждый будет раз  
Чревата Божеством, взнося ко Богу глас.  
52.

Как камень человек меж бурей тверд стоит,  
Коль суетность попрал, когда он Бога чтит.  
53.

О смертный! избери труды, или покой:  
Проходит чрез тебя твой Бог, иль он с тобой.  
54.

Замок есть чистота. Не может отпереть  
Никто сего замка, ни внутрь его смотреть.  
55.

Ах! Евву не вини, Адаму не пеняй;  
Когда бы не они, тыб сам утратил рай.  
56.

Считай, о человек! твой разум замечту.  
Премудрость лучшее имеет: простоту.  
57.

Ты неба не достиг, однако будь в покое,  
Знай! был, и ныне есть, ты небо сам живое.

58.

Бог избрал сам тебя, исчез твой грех пред Ним  
Ты прежде вечности назначен к жизни Им.  
59.

Земное полюбя, не лъзя без слез пробыть;  
Так лучше красоты небесныя любить.  
60.

Старайся волю здесь, о грешник! обуздать  
Дабы на небесах свободу воле дать.

#### ЦВЕТНИК ЧЕТВЕРТЫЙ

1.

Бог грешных не казнит; грех, мука и страданье,

Грех сам болезнь и смерть; а щедрость воздаянье.

2.

Бог двери показал и путь ко небесам:

Когда захочешь ты, войди в те двери сам.

3.

Когда желаешь ты лобзать мои уста,

И в небе жить со мной; иди путем креста.

4.

Посты, молитва, скорбь, печаль не нужны Богу;

Любовь одна к Нему являет нам дорогу.

5.

Не надобны тебе к блаженству вес, ни мера;

Единый лишь цветок к тому потребен: вера.

6.

Тем будешь вечно ты, к чему ты обратишься;

Ты с Богом будешь Бог, с змием змией явишься.

7.

Что мало во врата небесныя грядут?

У врат стоит любовь, уничиженье тут.

8.

Знать много хорошо; но лучше и того,

Коль в сердце водружен крест Божий у кого.

9.

От древа знания когдаб не ел Адам,

Во веки бы он жил и смертиб не дал нам.

10.

Ты с Богом не делись, разделу нет причины;

Все сердце просит Бог, не просит половины.

11.

Кто сердца книгою животной не устроит,

И взором сам Господь того не удостоит.

12.

Хоть тысящу живи на свете, грешник, лет;

Все мертв ты и тебя на свете будто нет.

13.

Смиранных сам Господь не судит никогда,

Смиранный был судим от грешных завсегда.

14.

Здесь тако дорог час, как вечность для меня;

Здесь все еще мое, там нет к поправке дня.

15.

Премудрый не грешит, в нем чувства озаренны,

За тем, что он глаза имеет затворенны.

16.

Брегися сам себя, ты первый враг себе,

И паче враг, чем все дьяволы тебе.

17.

Не думай, что Христос союз и мир дает;

Ах нет! где он, там брань, там в чувствах мира нет.

18.

Когда богач себя убогим называет,

Конечно он не лжет, но правду он вещает.

19.

Умертвие в себе вдовою должно быть,  
Без мужа надлежит, но с Богом ей прожить.

20.

Страстей Христовых круг исполнился не весь;  
Он страждет день и ночь, Он страждет и до днесь.

21.

Когда безбожник Бога хвалит,  
Ему не внемлет Бог, себя он только жалит.

22.

Жестокой человек погибнет средь грехов;  
За агнцов умер Бог, не умер за волков.

23.

Гонение сносить, за зло не делать злова,  
В обидах не роптать, наука есть Христова.

24.

Святые жребием всегда довольны были,  
Им Бог сокровище; чего же их лишили?

25.

Из разных жительство дом у Господа устроен;  
О еслиб хоть в одно войти был я достоин!

26.

Коль Бога любишь ты, как жизнь, и ближних любишь,  
Так любишь ты весь мир, и в нем любовь сугубишь.

27.

Когда небесну жизнь ты хочешь понимать;  
Ты должен Господу во всем себя предать.

28.

Когда любовьнова, мутится как вино;  
Но чище видится, чем старее оно.

29.

Премудрому равно хоть страждет, хоть болит,  
Как будто за добро за все благодарит.

30.

Брегися человек, ты в зверя обратишься;  
Коль будешь зверем весь, пред Бога не явишься.

31.

Имея доброе, коль сам к себе относишь,  
Грессишь ты, человек, и вышню власть поносишь.

32.

Приносит скорби крест, приносит также радость;  
На миг приносит скорбь, дарит на веки сладость.

33.

Ничто не шлет во ад так наше бытие,  
Как гнусныя слова: твое, или мое.

34.

Когда ко Богу всяк бывает обращен?  
Когда исполнит то, на что он сотворен.

35.

Война приносит мир, веселости, сраженье,  
Проклятие себя блаженства довершенье.

36.

Коль из Содомского ты города исходишь,  
Блажен, когда очей обратно не возводишь!

37.

Нам всем во аде быть хоть раз определено,  
Когда не в животе, по смерти непременно.

38.

Где Бог не действует, так Бога тамо нет,  
Хоть много кто о Нем и спорит и поет.

39.

Премудрости искать не должно за морями;  
Имей любовь ко всем, премудрость будет с нами.

40.

Ты мудр, но Бога ты не ведаешь притом;  
Так истинну скажу, ты равен с дураком.

41.

Ты истинну любовь и ложну знать желаешь  
Одною сам к себе, другой к Творцу плаешь.

42.

О грешник! уменьшись, то будешь тывозвышен,  
Для Християнина безмерный рост излишен.

43.

Когда украсишь ты так душу, как царицу,  
Тогда со Божеством сольешься в единицу.

44.

Коль Бог в тебе рожден, и умер, и воскрес;  
Возрадуйся! уже ты гражданин небес.

45.

Душа, которая в грехах пребудет мертва,  
О горе! та душа дьявольская жертва.

46.

Святаго мужа сон бывает слаще Богу,  
Чем грешник песнь ему и жертву вносит многу.

47.

Кто хочет в царствии Христовом быти боле,  
Учиться должен тот в Его духовной школе.

48.

Не бегай от креста, распуться должен ты,  
Или не узришь в век небесной красоты.

49.

О другмой! здесь когда вмучении скончаюсь,  
Я щастлив, смерти я Христовой приобщаюсь.

50.

Когда все дни твои чрез горести лиются,  
То соблазны к тебе не могут в век коснуться.

51.

При соблазнах мирских, когда ты недвижим,  
Чиста любовь твоя, со духом Бог твоим.

52.

Глупец премудрому не может подражать,  
Коль трудно для глупца любить, смотреть, молчать.

53.

Безумный в суетах до смерти человек:  
Но он об вечности и не помыслит в век.  
54.

Прямой любви нигде во обществах не видят;  
Те любят всех, грехи которых ненавидят.  
55.

Ты старую жену коль можешь так любить,  
Как деву юную, блаженным можешь быть.

56.

Твои дела твои адбывают завсегда,  
Так райского ключа не сыщешь никогда.

57.

Нет вечности; все тлен в понятии твоём:  
Что может быть сего глупее в мире сем?

58.

Ты ропщешь, мир тебе покою не дает:  
Но знай, что ко Христу иной дороги нет.

### ЦВЕТНИК ПЯТЫЙ

1.

Жених моей души ревнивее всего:  
Коль с ним я что люблю, так не люблю его.

2.

От женщин убегай: но ты молись за них,  
Так ты избавишься грехов от самых злых.

3.

Чинов я не ищу во мзду моих услуг:  
Довольно чести мне, коль Господу я друг.

4.

Именье многое на небо не препятство,  
Когда мне все равно: и бедность и богатство.

5.

Всяк грешник отравлен диявольскою лестью;  
За тем безчестен он, хотя повышен честью.

6.

Не льстись, что все грехи в тебе умерщвлены;  
Не днесь, так могут быть чрез час оживлены.

7.

Стыдися, что тебя в богатстве, или в чине,  
Так долго держит мир, как будто в паутине.

8.

Кто хочет ближняго как брата возлюбить,  
Тот должен здешний мир и общества забыть.

9.

Зараза зависть есть для братския любви;  
Тьму сеет во умах, отраву во крови.

10.

Молитвой злых духов, смирать постами плоть,  
А мир велит попать забвением Господь.

11.

Победоносцем здесь никто не назывался,  
Кто прежде со врагом на битвах не сражался.  
12.

Когда любовь моя ко ближним неравна;  
Так дьяволом любовь мне в грудь положена.  
13.

Мир поле битвы есть; венцы даются тем,  
Которые на брань выходят в мире сем.  
14.

Коль воин от таких прославится побед!  
Который победит плоть, дьявола и свет!  
15.

Сражайтесь войны! приносит чести вдвое,  
Спокойство по трудах, чем муки по покое.  
16.

Ах! для чего, мой друг, ты миром так тучнеешь?  
Ты к лаврам отолстев небесным не поспеешь.  
17.

Коль благо есть тому, кто от врага бежит!  
Коль зло, кто к богу тыл и спину обратит!  
18.

Ленивец! что ты спишь! помысли о себе;  
Вить небо во уста не спустится к тебе.  
19.

Никто на небеса без бедствий не взойдет;  
Великих радостей Бог даром не дает.  
20.

Власть следует суду; кто помнит только власть,  
Тот в небо не взойдет, но должен в ад низпасть.  
21.

Сражаться надлежит, но паче побеждать,  
Кто хочет в вечности покой и мир сыскать.  
22.

Бог лавры нам сулит, дьявол смех и стыд;  
Но ах! не к лаврам мир, к стыду весь мир спешит.  
23.

Как! вечну хочешь жизнь ты лучше потерять,  
Чем в Боге Богом быть и миром управлять?  
24.

Свобода нас губит, свобода избавляет,  
Свобода вяжет нас, свобода и венчает.  
25.

Скупец! тебе твой Бог послал свои даянья;  
Но придет Бог к тебе, не сыщет пропитанья.  
26.

Премудрый душу всю имеет в небесах;  
А душу всю скупой при деньгах в сундуках.  
27.

Коль света мудрецы о суетах пекутся,  
Что делают они? ... Челом о стену бьются.  
28.

Ты любишь свет, еще собойне обладаешь,

Когда чегонибудь ты в мире сем желаешь.

29.

Неволи ты бежишь, бежишь ея страданий,  
Но часто собственных невольник ты желаний.

30.

Ты часто говоришь: увижу Божий свет;  
Но завтра твой ли день? ах! нет, конечно нет.

31.

Желанья умертви, а инако как ныне,  
Ты будешь все желать, в лесах, в горах, в пустыне.

32.

Взаимная любовь, как солнца теплота;  
Кто прячется от ней, таких не греет та.

33.

Сначала человек прельстился от жены;  
Мы темиж прелестями до днесь окружены.

34.

Господь моя любовь; коль с Ним не сообщен,  
Так сердцем в аде я, душею умершвлен.

35.

Не хочешь тыспастись, не хочешь внебежить,  
Безумец! может ли сквозь солнце мрак пройтить.

36.

Кто уз мирских себя в пустыни не избавил;  
Не он оставил мир, но мир его оставил.

37.

Знать хочешь, подлинноль ты честной человек?  
Безстрастно размотри прошедший весь твой век.

38.

Обжора к вечери Господней не придет;  
Затем, что места в нем небесной пищи нет.

39.

Нет даром ничего: так спорить лъзя ли с жаром,  
Что можешь получить небесно царство даром.

40.

Желаешь к Богу ты, и кроешься от Бога;  
Так то не в небеса, а прямо в ад дорога.

41.

Коль в мире Господа всего ты любишь боле,  
То можешь в той любви быть с Богом на престоле.

42.

Дурак разсыпанесть, мудрецуединен;  
Последний всяк таков, кто к Богу прилеплен.

43.

Коль умирает все, стыдись вопросов сих:  
Что больше в мире сем: иль мертвых, иль живых?

44.

Свое имение скупой по смерти тратит,  
Мудрец имением за вечность в жизни платит.

45.

Безумец есть богат, коль тысящи сочтет;  
А мудрый беден есть, имея целый свет.

46.

Мой друг! к проклятию тыходишь в Божий храм,  
Коль Бог твой у тебя не будет в сердце там.

47.

Имея Бога ты, коль будешь не доволен,  
Так жаждой страждешь ты и скупостию болен.

48.

В раю богач; во ад низшел, кто был без пищи;  
Сей жаден в духе был, те были в духе нищи.

49.

Обманчивы грехи; ктоимнипокорится,  
Свободен чае быть, хотя в неволе зрится.

50.

Все мыслят: лучше мне дарить, чем принимать;  
Но худо в мире сем желают подавать.

51.

Сей мир ничто, так ты не много учинил,  
Когда сие ничто из мыслей истребил.

52.

Себя покинь всего; когда себя не взлюбишь,  
Обращешь вечну жизнь и Бога не погубишь.

53.

Коль сердцем в Боге мы, тогда мы с Ним, тогда;  
Осталось мало нам к спасению труда.

54.

Убиту должно быть, к тому коль воли нет;  
Коль в Боге не убит, так смерть тебя убьет.

55.

Работа какова, такая и награда;  
За доброе венец, за злое терны ада.

56.

Девица! зри намир: ктопоморюплывет,  
Обыкновенно тот ужасной бури ждет.

57.

Стой, бодрствуй и молись: не осторожен кто,  
Тот тратит небеса и часто ни за что.

58.

Блюдися, юноша, от жен и от вина.  
Ах! не одна душа от них погублена.

59.

Ты спишь, а твой Христос стучится у дверей,  
Стучится раннею и позднею зарей.

#### ЦВЕТНИК ШЕСТОЙ

1.

Не праведна любовь всегда летит к тому,  
Где телу угодить умеет своему.

2.

Утехами себя и пищей подкрепляешь:  
Но подкрепляя плоть, ты душу оскорбляешь.

3.

Погиб тот страж, уснет который на часах:  
Погибла и душа отвергнув Божий страх.

4.

Брегися, человек! враг ходит вокруг тебя;  
Коль дремлешь; плоть и дух проглотит он в себя.

5.

О друг мой! бдением, молитвой и постом,  
Всегда с побоища изыдешь с торжеством.

6.

На что привязан так весь мир ко суете?  
Мир весь безумствует и в вечной слепоте.

7.

Безумствуем мы все, мы вечности хоть верим:  
Но наши все дела по временности мерим.

8.

Когда бы от себя ты, гордой! отделился,  
Чтоб видел ты в себе? ... тебе бы скот явился.

9.

Кто вещи все по их достоинствам ценит,  
Тот прахом в мире все и тленностию чтит.

10.

Невестой может всяк и дочерью Божьей быть;  
Умей лишь в Нем Отца и Жениха любить.

11.

Кто умер суетам, умрети тот не мог;  
Он умер наперед всему, что есть не Бог.

12.

Хоть странствовал, мой друг, вокруг мира ты всего;  
Коль Бога ты не зрел, не зрел ты ничего.

13.

Чем ниже на земле, тем в небе будешь выше.  
Славнее будешь там, чем здесь пребудешь тише.

14.

Коль хочешь в Боге ты о Боге размышлять,  
Взывай к Нему, взывай, и будешь Бога знать.

15.

Когда ты чужд любви, то к Богу не спеши,  
Коль в стужу превратить не хочешь всей души.

16.

Коль хочешь, чтоб ничто не трогало тебя,  
Из тела выди вон, но и войди в себя.

17.

Как можешь ты, мой друг! других людей учить,  
Коль сам своей души не можешь излечить.

18.

Излишества любя, великой терпишь вред;  
К единому стремясь, избавишься от бед.

19.

Не место, не народ, не случаи, не дни,  
Что страждем, мы тому виною суть одни.

20.

Что жалуешься ты? Когда ты чист в себе,  
Коснется ли извне нечистота тебе!

21.

Дабы в покое жить, трудишься и потеешь;  
Сомнительно, что ты в трудах своих успеешь.  
22.

Всего опаснее в покое тихом быть,  
Коль сам велит Господь в молитвах пот нам лить.  
23.

Кто следует Христу, не мыслит никогда,  
Чтоб мир его любил, или почтил тогда.  
24.

Не думай сам собой, о смертный! управлять;  
Ты слеп; дай Господу слепаго провождать.  
25.

Старайся Богу ты все бытие вручить;  
Без Бога сам с собой не смей шага ступить.  
26.

Где муж святой живет в покое, в тишине?  
Коль искунитель есть во всякой здесь стране.  
27.

Печали и беды текут и ночь и день  
За праведной душой, за вещью будто тень.  
28.

Кто выиграет внутри, снаружисейутратит;  
Короны ищет кто, тем Бог крестом заплатит.  
29.

Чью душу Ангели в Сионе веселят,  
Не тужит тот, когда, распни! распни! кричат.  
30.

Коль хочешь с Господом ты душу примирить,  
Не слушай, о тебе что станут говорить.  
31.

Порядок Божий есть по воле Божьей жить;  
Порядок наш себе и суетам служить.  
32.

Начни из сердца гнать мирские суеты,  
Отвергни волю прочь, и будешь в Боге ты.  
33.

Кто хочет вечно жить, тот должен умереть;  
И должен быть пуст, чтоб в небо взлететь.  
34.

Не верь ты всякому, кто Вавилон оставил,  
Но сам в себе лежит и раб своих кто правил.  
35.

Дияволов ты вешь, иль Божий должен быть;  
А на двое тебя не можно разделить.  
36.

Оставь людей; от них подпоры не проси:  
Бог есть! ко Богу ты моленье возноси.  
37.

Не прилепляйся ты ни к камням, ни к древам;  
К чему прилепимся, то царством будет нам.  
38.

Что мало Христиан и Божиих друзей,

Есть много Християн вина потери сей.

39.

Не славься тем никто, что сам собой владеет,  
Когда кто собственность в уме своем имеет.

40.

Дорога есть узка, шаги у нас велики;  
Коль трудны суть стези, ко небесам толики!

41.

Короче заключить: коль хочешь быть с Христом,  
Иль в мире, иль в Христе, живи из двух в одном.

42.

Иисусе! нам открой, когда открыть возможно,  
Что зло и что добро, что истинно, что ложно.

43.

Будь кроток, каковы Иосиф и Мария;  
С Христом тебя спрягут достоинства такие.

44.

Царь Ирод не престал в свирепости своей  
Младенцев избивать: брегися злости сей.

45.

Покайся человек! и мысли премени;  
Бесплодным древом быв низвергнешься в огни.

46.

Когда тебя к себе Спаситель твой зовет,  
Остави тьму, спеши туда, где виден свет.

47.

Кто в мыслях миром сим пребудет в век прельщенных,  
Не внидет в небеса ... Коль мало там блаженных!

48.

Коль много званых здесь; но мало есть избранных:  
Так будет большее число во ад изгнанных.

49.

Ты призванк вечери; спешик вечерисей.  
Оставь твоих волов, поля, жену, детей.

50.

Несправедливости повсюду ныне зримы;  
Ликують злобные, а добрые гонимы.

51.

Не прячь таланта ты, которым одарен:  
Иль верой на песке ты весь сооружен.

52.

Кто хочет со Христом на небеса взойти,  
Обязан путь стыда и горестей пройти.

53.

Невинность на кресте; ликует Божий враг.  
Подумай человек, не все ли ныне так?

54.

Коль хочешь, человек! спастись еще и ныне,  
Изыди из себя, живи с Христом в пустыне.

55.

Ты Божий дух чрез то, о смертный! оскорбляешь,  
Коль честно бранишь, а злаго похваляешь.

56.

Несчастен видящий, коль видетьне умеет;  
Или не слышит кто, хоть уши он имеет.

57.

Не говори сего: мне трудно сделать то;  
Лишь веру ты имей, не трудно нам ничто.

### ЦВЕТНИК СЕДЬМЫЙ

1.

Когда оставишь ты сестру, свой дом и брата;  
Найдешь в Христе родню: твоя воздастся трата.

2.

Последни времена! сражайся и молись,  
Жених к тебе идет, во одр твой не ложись.

3.

Противу Християн всечасный слышен глас:  
На крест! на крест их всех! они сквернее нас.

4.

Коль ты отвержен здесь, не плачь, не плачь о том.  
Ты в общество вступил на небо со Христом.

5.

О горе! горе всем подобным Вивсаиде!  
Добро имеющим не в сердце, только в виде.

6.

Возненавиди все, что от Христа тебя  
Стремится отвлекать, друзей и сам себя.

7.

Есть много Християн, которы верят ложно:  
Но многим в узку дверь никак пройти не можно.

8.

Не плачь, о человек! ты о грехах чужих;  
Довольно нужно слез и для грехов твоих.

9.

Коль место здесь Христу в себе ты учинишь,  
Ты будешь Божий сын, себя обогатишь.

10.

Коль в храмы некия Христос бы днесь вошел,  
И ныне в них бы Он торгующих нашел.

11.

Когда не молишься ты в духе, человек;  
Глаголют, что уста не слышит Бог вовек.

12.

Ах! верь мне, что Господь всех нас к себе влечет;  
Но множество из нас от Бога прочь течет.

13.

Всех грешных признаю за дьяволовых чад;  
То дети суть его, доколь они грешат.

14.

Пред Божиим лицом заранье обращайся:  
Иль, свет когда взойдет, быть в мраке опасайся.

15.

Не может Бог взирать с небес на таковых,

Друзей что продают с Иудою своих.  
16.  
Коль заповедей ты Господних не хранишь,  
Что Христианин ты, с чего ты дерзко мнишь?  
17.  
Всяк радуйся тому, кто миром есть гоним;  
Тому Спаситель друг, он страждет купно с ним.  
18.  
Уже избранные сияют в мире сем,  
Хотя и мучится с друзьями дьявол тем.  
19.  
Коль Бог твой в горести тебя не утешает,  
Не мучься: Бог тебя в любви искушает.  
20.  
Не удаляйся ты беседы Христиан;  
Иль будешь нем и глух, как некий истукан.  
21.  
Не спрашивай, когда последний суд придет?  
Будь каждый час готов, что Бог тебя возьмет.  
22.  
В последни времена спасенье не минется:  
Но щедро Божий Дух на каждую плоть прольется.  
23.  
Кто правду говорит, того не терпит свет:  
Как людям будто бы и нужды в правде нет.  
24.  
За деньги Божий дар не можно покупать:  
Тем горе, станет кто законом торговать!  
25.  
Согни хребет и крест на выю возложи:  
Подпорой бед твоих с Христом твоим служи.  
26.  
Что в солнце нам, когда нечисты мы сердцами?  
Мы только тьма одна пред Божьими очами.  
27.  
От страха многие на свете сем молчат,  
Молчат от мудрости, и Бога тем гневят.  
28.  
Когда стараются жизнь твою отнять,  
Учися Павлу ты при смерти подражать.  
29.  
Писанье нам дано сердец во просвещение;  
Но, ах! потемнено, как солнце при затменье.  
30.  
Коль будет так душа, как Дева очищенна;  
То будет в вечности с Софией сопряженна.  
31.  
Где Християне суть, там разговоров нет,  
Какими занят весь обыкновенно свет.  
32.  
Коль хочешь во Христе твореньем новым быть,  
Оставь твой прежний путь, и мир престань любить.

33.

Твой разум умертви и мира суеты,  
Или свободным быть не можешь вечно ты.

34.

Коль Християне суть, как цепь, совокупленны;  
То будут Божии щедроты им явленны.

35.

Ты мыслишь: Божия щедротанас спасает;  
Конечно, коль в душе твоей любовь сияет.

36.

Доколь в тебе еще твой древний человек;  
Ты хладен яко лед, и будешь мертв во век.

37.

Беги и удались ученья такова,  
В котором разумом украшены слова.

38.

Друзей, мирских друзей не может Бог терпеть.  
Кто Богу друг, на что тому людей иметь.

39.

Когда твоя душа на Бога уповает,  
Тебя заутро он и ныне пропитает.

40.

Подобна Библия есть солнечным лучам;  
Без Божьей помощи вредит она очам.

41.

Ты будешь на земли, о грешник! очищен,  
Коль внутренний твой храм есть Богу посвящен.

42.

Кто естне воХристе, так тотпротивХриста;  
Не может тот спастись, не знает он креста.

43.

О люди, люди! Вы явили то на деле,  
Что Вавилон в душах, Египет в вашем теле.

44.

О Лотовой жене, о грешник! вспомяни:  
Из мира вышед вон, обратно не гляни.

45.

Старайся человек, как можно, унижаться;  
Будь мал, коль хочешь ты с Христом твоим сравняться.

46.

Кто древним хочет быть в сей жизни человеком,  
Не возродится тот наставшим в небе веком.

47.

Почто не слушаешь святых писаний, мир?  
Ах! слышать может ли и чувствовать кумир!

48.

Господь в сердца нам зрит, и мысли Он читает;  
В чьем сердце нет добра, тем Бог не управляет.

49.

Все должночрез Христа во свете совершиться;  
А без Него и гнев Отца не уменьшится.

50.

Хоть много о Христе во свете говорят:  
Но крест Его нести не многие хотят.  
51.  
Коль многие во сне погружены глубоко!  
И что под ними ад, не видят мутным оком.  
52.  
Велико тех число, которые словами  
Учить людей хотят; но редкие делами.  
53.  
Христос пасет в лугах невинных лишь овец;  
Не будет в том числе ни волк, ни змей, ни лстец.  
54.  
Все видит Бог в тебе и мысль и суеты;  
Не веришь коль тому, не Християнин ты.  
55.  
Коль хочешь быть Христов, так ты с того начни;  
Всю волю умертви и плоть свою распни.  
56.  
Со Духом Божиим коль дух свой соединишь:  
Им очреватеешь и сына ты родишь.  
57.  
Христос в душе у нас и Агнец и Пастух;  
Жених живущий внутри; Его супруга дух.  
58.  
Кто б ни был таков, но помни, человек!  
Не будешь друг Христов и не спасешься в век;  
Когда последовать Спасителю не станешь;  
Разсудком собственным всегда себя обманешь.

## **Богданович Ипполит Федорович**

### **Об авторе:**

**Из статьи: В. И. Сахаров. Миф о золотом веке в русской масонской литературе XVIII столетия**

*Ипполит Федорович Богданович (1744-1803), автор знаменитой поэмы "Душенька" (1783), идиллий, пасторалей, любовных песенок, поэт изящный, чувствительный, "живописец граций" (М.Н.Муравьев), казалось бы, далекий от какой-либо мистики и основательной философии. Этот скромный выходец из Малороссии (потом он окажется в одной ложе с влиятельным земляком, последним гетманом Украины К.Г.Разумовским), принадлежавший к бедному польскому шляхетскому роду, очень показателен для начального этапа истории масонской поэзии. Тем более что этот поэт развивается вместе с поэзией, отражает в своей творчестве ее путь и становится одним из лучших российских стихотворцев XVIII столетия. Стоит взглянуть на Богдановича с этой точки зрения и изучить его реальную биографию, и в привычном облике галантного стихотворца проступают новые черты.*

*В биографии И.Ф.Богдановича, основой которой является его автобиография, есть красноречивые умолчания и сознательно сделанные фактические ошибки, намеренные неточности, скрывающие реальные факты. Есть неслучайная путаница и в официальных бумагах: формуляры и послужные списки Богдановича противоречат друг другу. Даже в прошении на имя императрицы Екатерины II, лично знавшей поэта и покровительствовавшей ему, Богданович не называет точные даты своей служебной карьеры, хотя и просит о вознаграждении за заслуги). Этот человек умел молчать,*

всегда находиться в тени, и не случайно место ему подобрали "братья" соответствующее: состоять в Государственном архиве старых дел и в конце концов стать его председателем.

Укажем на одну только важную подробность: в автобиографии Богданович пишет, что принят в штат П.И.Панина переводчиком в 1763 году и тут же говорит о покровительстве Е.Р.Дашковой, пригласившей его участвовать в журнале "Невинное упражнение"). Между тем в официальном послужном списке поэта ясно сказано, что к Панину он определен в 1761 году).

Казалось бы, это мелочь, ошибка памяти очередного начальника поэта или канцеляриста, не имеющая прямого отношения к поэзии. Однако между этими двумя датами произошло историческое событие, очень многое определившее в литературной судьбе Богдановича, - "революция" Екатерины II, переворот 28 июня 1762 года, главными участниками которого были братья Панины и княгиня Дашкова.

Неточностей и "белых пятен" в этой таинственной истории много, однако есть и вещи очевидные, исторические факты. В 60-е годы тихий чиновник дипломатического ведомства Богданович стал доверенным лицом Н.И.Панина, одного из негласных вождей нарождающегося русского масонства, долго жившего в Швеции и привезшего оттуда орденские бумаги, уставы и инструкции, поддерживавшего тайные связи со шведской аристократией, принцами крови, стоявшими во главе ордена. Вельможа этот не случайно избран наместным мастером Великой провинциальной ложи России. Не без его ведома петербургские ложи подчинены были потом Великому стокгольмскому капитулу.

Панин и его влиятельные единомышленники, опираясь на крепнущую масонскую организацию в правящих и военных кругах, помогли Екатерине II захватить престол (заметим, что здесь принял посильное участие и знаменитый мистик и масон Сен-Жермен, приехавший, как утверждают некоторые источники, на помощь неопытным русским "братьям" и впоследствии посетивший в Париже своего петербургского знакомого, другого доверенного человека Паниных - Д.И.Фонвизина), долго диктовали ей условия, политику, прежде всего внешнюю, стремились ограничить самодержавную власть императрицы введением высшего соправительствующего органа дворянской (читай - масонской) олигархии, соответствующим образом воспитывали и настраивали ее сына, цесаревича Павла, законного наследника своего убитого отца Петра III. Вскоре созрел и неизбежный заговор против строптивой, неблагодарной, не желающей ни с кем делиться неограниченной властью императрицы с целью возвести на престол Павла. Участники те же: Панины, Дашкова, Д.И.Фонвизин, генерал-розенкрейцер Н.В.Репнин, связанные с масонами церковные иерархи, аристократы, гвардейские офицеры). Где-то рядом с ними, в тени вельмож, затерялась изящная фигура поэта и архивиста Богдановича.

Всего этого памятливая и властолюбивая государыня никогда не могла забыть и простить, чем и объясняются опала Н.И.Панина, разрыв с Дашковой и позднейший продуманный и жестокий разгром масонской организации Новикова. "Масонская работа" Паниных не ограничивалась политическими прожектами и интригами в высших сферах: ими подготовлена, явно с ведома императрицы, одна из самых тонких и жестоких провокаций в русской истории - убийство несчастного императора-узника Иоанна Антоновича, окончательно утвердившее на престоле нелегитимную Екатерину II и стоившее жизни простодушному масону-исполнителю Мировичу.

Богданович принимал участие в этих сложных и опасных политических маневрах, верно служил Н.И.Панину. Вместе со своим начальником П.И.Паниным он входил в руководство петербургской ложи "Девяти Муз", где исполнял обязанности церемониймейстера). По заказу своего покровителя поэт написал оду Екатерине II на новый 1763 год, где уже есть масонская формула об Астреином веке ("век золотой дала узреть").

Однако Панины, чувствуя нарастающее неудовольствие императрицы их тайной политикой, стали готовить ей преемника - своего воспитанника, наследника престола Павла Петровича. К его маленькому оппозиционному двору и был приставлен в 1764 году скромный чиновник Богданович. Здесь нашел наконец применение его замечательный поэтический дар.

Цесаревич надеялся, что поэт станет новым Ломоносовым и воспевает его грядущее царствование, и, выслушав ломоносовскую оду на взятие Хотина, изрек: "Может быть, Богданович таков будет"). Однако оды Богданович писал в основном для Екатерины (см. также его "Стансы", "Стихи великой монархине", "Стихи к музам на Сарское Село", "Надписи"), хотя в качестве придворного поэта наследника исправно его воспевал, откликался на его свадьбу, посещение Академии наук и другие события и однажды в похвальных стихах публично пожелал неуравновешенному и подозрительному цесаревичу "души спокойствия".

Живя в 1765 году в любимом императрицею Царском Селе, Богданович создал для ее сына не оду, а совсем иное по духу и жанру произведение - очень странную для того времени дидактико-философскую поэму "Сугубое блаженство", вскоре автором сокращенную и переделанную и названную "Блаженство народов" (1765).

Она содержала не только масонскую мифологию, но и серьезные исторические пророчества, сбывшиеся при жизни Павла и предсказавшие его трагический конец. Впоследствии Карамзин, совсем не случайно написавший предисловие к собранию сочинений автора "Душеньки" и по своим глубоким познаниям в орденовой "царственной науке" понимавший масонские иносказания и символы поэмы Богдановича гораздо лучше нас, назвал ее тему "важным предметом").

Действительно, это риторическое произведение ничего или очень мало общего имеет с галантной "Душенькой", автор обратился к августейшему воспитаннику и последней надежде теряющего влияние Н.И.Панина (он по свидетельству С.А.Порошина очень хвалил поднесенную автором наследнику поэму Богдановича) с учительной аллегорией о совершенном и свободном человеке, жившем в золотом Астреином веке, счастливом Адаме, не ведавшем страстей, войн, собственности, государства и рабства. Всех людей кормила "неразделимая питательница" - земля, на высшую ступень возведены были науки и искусства.

В Золотом веке не было не только золота (т.е. корысти и наживы), но и железа, оружия и, следовательно, войны. Богданович позднее не случайно выбрал для перевода знаменитый проект о вечном мире аббата Сен-Пьера. Он и в своем "Историческом изображении России" порицал войну и следовал здесь масонскому учению: "Война составила из народов политические неестественные смешения и разделения, которые делают насилу природе, в свое время воспринимающей свои права"). Первоначальное это счастье было нарушено, в чем обвиняются, в частности, философы-просветители:

Науки сделали орудием их мести,

И разум растравлял жестокость общих ран...

Далее следует характерное для учительной орденовой поэзии описание олицетворенных страстей - ненависти, гордости, лести, притворства. Спасти впадшее в грехи и страсти человечество может лишь идеальный монарх и совершенный человек, стоящий во главе всемирной империи и обладающий высшими степенями масонского знания, - то есть все тот же опальный цесаревич Павел Петрович, которого братья Панины и другие масоны хотели сделать "конституционным" (мы как-то забываем, что такие понятия, как "конституция" и "интеллигенция", введены в наш политический словарь масонами), т.е. избранным царем, исполняющим конституцию, т.е. юридически выраженную и утвержденную волю ордена, сплоченной им дворянской элиты, оформленную как "олигархический закон", высшую нравственность:

Был избран человек подать законы всем...

Здесь Богданович пользуется масонскими символическими формулами и иносказаниями ("я новый свет приемлю"), определяет назначение поэта - служение ордену:

Не славным в свете я - полезным быть хочу.

Обратив внимание на все эти скрытые от непосвященных слова-"сигналы" и прочие красноречивые "знаки", мы увидим, как в раннем творчестве талантливого поэта, всецело преданного Паниным и другим старшим "братьям" по ложе, оформляется очень серьезное, чисто масонское произведение, которое остается незамеченным, непонятым большинством читателей и исследователями, и это нисколько не мешает Богдановичу впоследствии творить в излюбленном "легком" роде, пожать лавры автора всероссийски известной "Душеньки", занимать важные государственные посты, получать чины, перстни, денежные поощрения и орденские награды от императрицы.

Ничто, казалось бы, не выдает в этом благополучном придворном стихотворце облеченного немалой властью церемониймейстера ложи "Девяти Муз" и правую руку Паниных, хотя, например, в поздних "Стансах к Л.Ф.М." (1784) есть чисто масонские темные пророчества в духе Нострадамуса:

Загадки сфинксовы возникнут в дни златые,

Где глас лжемудрости давно уже умолк.

Комментаторы этого таинственного стихотворения ищут конкретного человека, адресата послания, пытаются расшифровать буквы "Л.Ф.М." как инициалы. А ведь шифр здесь совсем другой - масонский, читать эти буквы можно, исходя из традиционных конспираторских сокращений в орденских рукописях, как "Л<юбезным> ф<ран>-м<асонам>". "Лжемудрость" - идеи просветителей. Ясна и первоидея мрачных пророчеств Богдановича. Это масонская эсхатология, ожидающая явления златого века Астреи именно в будущем, после конца этого несовершенного света и Страшного Суда. Конкретные имена адресатов стихотворения также давно известны, их легко обнаружить в новонайденном списке, составленном простодушным поэтом Д.И.Хвостовым: "Богданович очень часто ездил к Княгине Дашковой, к графу <А.С.>Строганову, Ивану Перфильевичу Елагину, к Министру Финансов графу <А.И.>Васильеву, сенатору <А.А.>Ржевскому, Державину и в многие другие знатные дома"). Здесь ясно обозначена масонская культурная среда, из которой выпадает пока один лишь Державин.

Это, конечно, только основательное предположение, но даже в случае подтверждения его новыми фактами приходится признать, что из этих зашифрованных стансов, поэмы "Блаженство народов", стихотворения "Философические мысли некоторого французского писателя", нескольких псалмов и "од духовных" масонская поэзия Богдановича составить пока не может, поэт уходит к иным литературным целям и идеалам. Его знаменитая "Душенька" и родственные ей "легкие", грациозные, чувствительные произведения определяют творческий облик и стиль приятного придворного стихотворца и чистого лирика; масонский "компонент" в поэзии Богдановича продуманно замаскирован, зашифрован, отодвинут на третий план изящными, гармоничными, далекими от таинственного глубокомыслия поэмами и стихотворениями:

Не лиры громкий звук - услышишь ты свирель...

Как и его Великий мастер Елагин, Богданович стремится создать "светскую", "сумароковскую" поэзию, хотя в "Душеньке", особенно в описании храма Венеры и златого века всеобщей взаимной любви, есть явные отзвуки ранней поэмы "Блаженство народов", прочитывается масонский "слой" идей и образов, высказана критика в адрес трагедии "брата" по ложе Ф.Я.Козельского "Пантея", совпадающая с мнением Н.И.Новикова, содержащимся в "Опыте исторического словаря о российских писателях" (1772).

Ведь и в поздней поэме Богдановича есть ставшая у масонов "общим местом" дидактическая аллегория о довременном рае, "где смерть была запрещена... насильством кровь не проливалась", говорится о первоначальном счастье гармоничного человека, жившего в любви и взаимопонимании с божеством и затем впавшего в грех и соблазн, изгнанного из блаженной страны богов в пустыню, о пути испытаний, борьбе за потерянное счастье и новую гармонию. Автор "Душеньки" не может отказаться от масонского круга идей, но не высказывает их прямо в своей поэме, они ощутимы лишь для внимательного, осведомленного в тайнах ордена читателя. Таким был, как уже говорилось, Карамзин, писавший о поэме Богдановича: "Мысль аллегории есть та, что душа наслаждается в любви божественным удовольствием"). Но в том-то и дело, что мало кто читал эту поэму как масонскую аллегорию о странствиях и приключениях души человеческой и Золотом веке богини Астреи. Это не просто индивидуальный стиль выдающегося русского поэта или его личное мировоззрение, а именно орденская эсхатология, масонская философия истории, отразившиеся в "гиероглифическом" стиле тяжеловесной поэзии позднего, обновленного барокко, прошедшей через "правильную" школу европейского классицизма и философии Просвещения, но не удовлетворившейся ими).

Масонские стихотворения и поэмы поэтому часто бывают рассудочны, полны аллегорической схоластики и прямолинейной дидактики, подчиняются формулам орденских обрядов. Но они всегда обращены к отдельному, уединенному человеку, взывают к его душе и разуму, выражают авторские чувства. И поэтому они являются уже подлинной лирикой, отвечавшей требованиям нового времени и новому пониманию самоценной, освободившейся от оков надличного "служения" личности. "Присмотритесь к настроению народов - везде проявляется сознание человеческого достоинства", - говорилось в одном масонском документе). Это состояние умов влияет и на масонскую прозу, в особенности на роман.

В русском обществе на грани веков такие идеи-пророчества, развиваясь, неизбежно ведут к декабризму как настроению эпохи просвещенного мистицизма. После убийства шведского короля Густава III, русских императоров Петра III и Павла I, после потрясений французской революции и наполеоновских войн художественная эсхатология русских масонов развивается, приобретает новые формы, отражается в поэзии М.А.Дмитриева-Мамонова, Ф.Н.Глинки, Г.С.Батенькова и других поэтов-декабристов, без учета этого движения влиятельных творческих идей нельзя до конца понять многие образы философской лирики Е.А.Баратынского, Ф.И.Тютчева и Пушкина).

Материал для таких исследований, в том числе архивный, огромен, нуждается во внимательном научном изучении. Но уже сейчас ясно, что эсхатологические учения русских масонов, их миф о Золотом веке богини Астреи оказали немалое влияние на развитие русской литературы XVIII - первой трети XIX веков, да и впоследствии

## ДЕНЬГИ

Беда, коль денег нет; но что за сила тянет  
К богатству всех людей? Без денег счастье вянет,  
И жизнь без них скучна, живи хотя сто лет;  
Пока твой век минет - беда! коль денег нет.

Беда, коль денег нет; везде сии законы,  
Что деньгам воздают и ласки и поклоны.  
О деньги, деньги! вас и чтит и любит свет,  
И каждый вопиет: беда, коль денег нет.

Беда, коль денег нет; имея жизнь толь кратку,  
Приписывать должны мы счастье к достатку;

Хоть деньги множество нам делают сует,  
Однако без сует беда, коль денег нет.

<1761>

### МОЛИТВА ВЕЧЕРНЯЯ

Сокрылись солнечны лучи  
От мрачной темноты в ночи.  
Я, день прошедши вспоминая,  
Что, в беззаконьи утопая,  
Тебя, о Боже мой, гневил,  
Когда на всякий час грешил.  
Хотя числа нет согрешенью,  
К Тебе, души ко облегченью,  
Дерзаю мысль  
К Тебе взнести,  
Тебе моленье принести.  
Воззри на сердце сокрушенно,  
К Тебе любовью утвержденно,  
И грешнику Твой суд отсрочь:  
Не умертви в сию мя ночь,  
И дай Твоим мне подкрепленьем  
Тебя не гневать согрешеньем.  
Храни в бесстрастии меня,  
Да, утренний узрев свет дня,  
С покойной мыслью одр оставлю  
И милости Твои прославлю, -  
Что чистым, Боже ты сердцам  
Всегда готов покров быть сам;  
Хранить деланья непорочны  
Всегда, и в сне, в часы полночны.

<1761>

### СКАЗКА

Хотелось дьявольскому духу,  
Поссорить мужа чтоб с женой.  
Не могли сделать то собой,  
Бес подкупил одну старуху,  
Чтоб клеветою их смутить,  
И обещал за то ей плату.  
Она, обрадовавшись злату,  
Не отреклась ему служить  
И, следуя чертовской воле,  
К жене на тот же день пошла,  
За прялкою ее нашла;  
А муж пахать поехал в поле.

"Здорова ль, кумушка, живешь? -  
Старуха спрашивать так стала. -  
Я с весточкою прибежала,  
Что очень скоро ты умрешь".  
Потом старуха напрямки  
Жене сказала так об муже:  
"Нельзя того быть, matka, хуже, -  
Ты от его умрешь руки:  
Он в кузницу ходил нарошно,  
Чтоб нож себе большой сковать.  
Я, право, не хочу солгать,  
Мне то подслушать было можно,  
Как он назад дорогой шел,  
Тебя зарезать похвалялся,  
И нож на поясе мотался.  
Смотри, чтоб впрямь не заколол.  
Я дам тебе траву такую:  
Как будешь при себе держать,  
То муж не станет нападать,  
И отменит к тебе мысль злую.  
Да только, свет мой, не забудь,  
Побереги младого веку,  
Или не сделал бы калеку.  
Лишь он войдет, траву брось в грудь.  
Когда б тебя я не любила,  
То бы совету не дала:  
Я не хочу тебе вить зла.  
Прости, и помни, как учила".  
Лукавая хрычовка та  
Тотчас и к мужу побежала;  
Его там на поле сыскала.  
"Я бегала во все места, -  
Старуха говорит с слезами. -  
Еще ты, батюшка мой, жив!  
Поди теперь домой ты с нив;  
Поди, своими ты глазами  
Увидишь женину любовь.  
Она, увидевшись со мною,  
Сказала мне, с надеждой тою,  
Что злости буду я покров,  
Как встретишься, вошед, ты с нею,  
То бросит той травой в тебя,  
Котору держит у себя,  
Чтобы пошел ты в землю ею.  
Тебя мне, ей'ей! батька, жаль!  
И не жалеть о том не можно,  
Когда б жена твоя безбожно  
Намеренье свершила вдаль.  
Вот нож тебе, возьми скорее,  
Поди к жене теперь, поди,  
И злость ее предупреди,  
Зарежь злодейку, не жалея.

Увидишь правду ты мою,  
Когда увидишься с женою.  
А чтоб не умер ты травною,  
То я тебе совет даю,  
Чтоб нож вонзить ей прямо в груди.  
А ежели не так воткнешь,  
То от травы тотчас умрешь:  
Так говорят все стары люди".  
Мужик, сию услыша весть,  
Упал тогда старухе в ноги.  
В слезах не видит он дороги,  
Спешит скоряй на лошадь сесть.  
Дивится жениной он злобе,  
За что б озлилась так она;  
Смущеньем мысль его полна:  
Не хочется быть рано в гробе.  
Приехал только лишь домой,  
Жена тотчас его встречает  
И мниму злость предупреждает:  
В грудь бросила ему травой.  
Мужик взбесился, зря то ясно,  
Что хочет уморить жена.  
"Постой, - вскричал, - уж злость видна,  
Узнав, как с мужем ты согласна.  
Не думай, чтоб свершила зло:  
Умри, коль смерти мне желаешь;  
Сама себя теперь караешь,  
Тебе злодейство то дало".  
Сказав то, вынул нож ужасной,  
Вонзил жене невинной в грудь.  
"Что муж тебе я, ты забудь,  
Коль мне не хочешь быть подвластной.  
Умри, проклятая душа,  
Коль мужа умертвить хотела,  
Себя ты тем не пожалела".  
Жена тогда, едва дыша,  
Сказала мужу, умирая,  
Что смерть приемлет без вины  
И что старухой смущены:  
"Она, безбожница, нас злая  
С тобою разлучила ввек".  
Узнал и муж тогда старуху,  
Но уж жена лишилась духу.  
Жалел, что жизнь ее пресек.  
Но мужнее тогда жаленье,  
Хотя и каялся в вине,  
Уж поздно было о жене,  
И невозвратно то лишение.  
А ту хрычовку сатана,  
За женину ножом утрату,  
Во аде наградил в заплату,  
Чтоб вечно мучилась она.

Читатель! сказку ты читая,  
Жалей о тех, жалей со мной,  
Которы гибнут клеветой,  
Безвинно жизнь оканчивая.  
Найдем и много мы старух,  
Которых злость развраты множит,  
Чего и дьявол сам не может,  
Чтобы поссорить в дружбе двух.  
Клеветники - у чорта сети,  
Которыми он ловит тех,  
Что, кроме истины, утех  
Неправдой не хотят имети.

<1761>

\* \* \*

Доколе буду я забвен  
В бедах, о Боже мой, Тобою?  
Доколе будешь отвращен  
От жалоб, приносимых мною?  
Доколе вопиять, стена?  
Мое всечасно сердце рвется:  
Доколе враг мой мне смеется,  
Всегда в напасти зря меня?

Я милости ко мне Твои  
В бедах толиких призываю,  
Да не рекут враги мои,  
Что я напрасно уповаю.  
Спаси в напасти мой живот,  
В слезах обрадуй и в печали,  
Дабы злодеи то познали,  
Что ты Господь и Бог щедрот.

Будь страшен всем моим врагам,  
Что в злобе на меня стремятся,  
Будь мне от них защитник Сам:  
Тобой их сети сокрушатся.  
Твою я милость воспою  
В весь век мой, данный мне Тобою,  
Что Ты всемогущею рукою  
От рук врагов спас жизнь мою.

<1760>

\* \* \*

Господь меня блюдет,  
Господь и просвещает,  
И от юнейших лет

В путь правый наставляет.  
С млеко́м Закон Свой влил  
В меня еще в младенстве,  
Дабы во благоденстве  
Я Господа хвалил.  
Хоть пагубный предел  
Назначен мне врагами,  
Мой щит пребудет цел,  
Я злость попру ногами.  
Что враг мне сотворит,  
Горящий злобным жаром,  
Коль крепких сил ударом  
Господь его сразит?

Он щедрюю простер  
Ко мне свою десницу:  
Умножил выше мер  
Мой скот, мою пшеницу.  
Пою Тебя всяк час,  
Источник благ нетленных!  
Внемли из уст Ты бранных  
Моих хвалений глас.

<1760>

\* \* \*

Блажен, кто Бога не гневит  
И истину всегда хранит, -  
Род одного благословится,  
И семя ввек не истребится.

Богатство, слава с ним живет,  
С ним праведный узнает свет;  
Гонимым он подаст отраду,  
С ним узрит истина награду.

Помощник нищему в беде  
И покровитель на суде,  
Когда он правдой укрепится,  
От слуха зла не убоится.

Он ей противных победит,  
Бесстрашно на врагов воззрит  
И в свете вознесется славой;  
Господь хранит всегда путь правой.

А беззаконник, в злобе зря  
И в зависти своей горя,  
Что Бог ему не помогает,  
Падет, погибнет, и растает.

## Кантемир Антиох

### Об авторе:<sup>57</sup>

Кантемир (князь Антиох Дмитриевич) - знаменитый русский сатирик и родоначальник современной нашей изящной словесности, младший сын молдавского господаря, князя Дмитрия Константиновича и Кассандры Кантакузен, родился в Константинополе 10 сентября 1709 г. По матери он потомок византийских императоров. В отличие от своего отца, князя Константина, отец Антиоха, князь Дмитрий, всецело посвятил себя мирной деятельности, не оправдывая воинственной своей фамилии (Кантемир означает либо родственник Тимура - предки Кантемира признавали своим родоначальником самого Тамерлана, - либо кровь-железо; татарское происхождение фамилии Кантемир несомненно). Семья князя Дмитрия, в том числе и будущий сатирик, сопровождала его в его путешествиях и походах. Этим и объясняется, что Кантемир усвоил себе так полно дух русского языка и проявил в своих сатирах такое глубокое знание современной ему русской жизни. Первоначальными его учителями были греки, но уже на седьмом году его жизни в семью Кантемира поступил воспитателем один из наиболее даровитых студентов Законоспасской академии, Иван Ильинский. Князь Дмитрий Кантемир, любивший литературу и сумевший внушить эту любовь и Антиоху, в духовном завещании отказал все свое имущество тому из своих сыновей, который проявит наибольшее расположение к научным занятиям, причем он имел в виду именно Антиоха, "в уме и науках от всех лучшего". Действительно, остальные братья оказались людьми заурядными; вкусы Антиоха разделяла только его сестра Марья, что и послужило основанием их дружбы на всю жизнь. Переписка брата с сестрой во время продолжительного отсутствия первого из России (см. Шимко, "Новые данные к биографии А.Д. Кантемира и его ближайших родственников", Санкт-Петербург, 1891) бросает яркий свет на настроение этих двух людей, мягких и гуманных в такое время, когда окружавшее их общество отличалось дикостью и жестокостью. Переписка эта и в других отношениях имеет большое значение для характеристики Кантемира: она разъясняет, почему он отказался от выгодного брака с богатейшей невестой того времени, княжной Варварой Алексеевной Черкасской, дочерью влиятельного государственного человека. Причиной этому было нежелание отказаться от литературных и научных занятий. Дипломатической деятельности Кантемир посвятил себя главным образом потому, что пребывание за границей давало ему возможность расширить свое образование и в то же время освобождало его от непосредственного участия в политической борьбе, сопряженной с кознями и интригами. Любовь Кантемира к науке имела утилитарный характер, в петровском духе: он дорожил и самой наукой, и своей литературной деятельностью лишь настолько, насколько они могли приблизить Россию к благополучию, а русский народ - к счастью. Этим, главным образом, определяется значение Кантемира, как общественного деятеля и писателя. На тринадцатом году жизни он потерял отца. Домашнее образование Кантемира дополнилось кратковременным пребыванием в греко-славянской академии и в Академии Наук. Последняя оказала Кантемиру несомненную пользу. Особенно он ценил лекции Бернулли и Гросса и на всю жизнь сохранил большое расположение к математике и этике. Но своим обширным образованием он в значительной степени обязан лично себе. Еще юношей он внимательно следил за европейской литературой, по самым разнообразным отраслям знания. Об этом свидетельствуют собственноручные его пометки в календаре за 1728 г. Задаваясь, еще в ранней молодости, вопросом о средствах распространения в России знаний, пригодных для жизни, и об искоренении невежества и суеверий, он признавал наиболее важным учреждение школ и считал это задачей

57 Статья из "Биографического словаря" Брокгауза и Ефрона - <http://www.rulex.ru/01110549.htm>

правительства. Прельщенный могучей деятельностью Петра, Кантемир возлагал все свои надежды на монархическую власть и очень мало рассчитывал на самостоятельный почин духовенства и дворянства, в настроении которых он усматривал явное нерасположение или даже ненависть к просвещению. В самых сильных своих сатирах он ополчается против "дворян злонравных" и против невежественных представителей церкви. Когда, при воцарении императрицы Анны Иоанновны, зашла речь о предоставлении политических прав дворянству (и шляхетству), Кантемир решительно высказался за сохранение государственного строя, установленного Петром Великим, 1 января 1732 г. Кантемир уехал за границу, чтобы занять пост русского резидента в Лондоне. Во внутренней политической жизни России он участия более не принимал, состоя первоначально (до 1738) представителем России в Лондоне, а затем в Париже. Деятельность Кантемира, как дипломата, еще мало исследована; даже еще не издано полное собрание его реляций; пока вышел только первый том, под редакцией профессора Александренко, обнимающий первые два года дипломатической деятельности Кантемира в Лондоне ("Реляции из Лондона", Москва, 1892). Лучшей оценкой трудов Кантемира на этом поприще являются работы Стоюнина: "Книга А. Кантемира в Лондоне и Париже" ("Вестник Европы", 1867 и 1880), далеко, однако, не исчерпывающие вопроса. Автор подробно говорит о неблагоприятных условиях, которыми был окружен Кантемир, как дипломат; о недостатке материальных средств, урезывания или задержке более чем скромного жалованья, разносторонних поручениях, обременявших Кантемира (в роде "приискания искусной прислуги" или покупки "езженных лошадей"), - но он недостаточно оттеняет, что Кантемир все-таки успел собрать богатый материал и давал своему правительству отчеты, поражающие широтой взгляда и всесторонней оценкой политических деятелей и условий. Литературная деятельность Кантемира началась очень рано. Уже в 1726 г. появилась его "Симфония на Псалтирь", составленная в подражание такому же труду Ильинского: "На четвероевангелие". В том же году Кантемир переводит с французского "Некое итальянское письмо, содержащее утешное критическое описание Парижа и французов" - книжечку, в которой осмеиваются французские нравы, уже тогда постепенно проникавшие к нам. В 1729 г. Кантемир переводит философский разговор "Таблица Кевика - философа", в котором выражены взгляды на жизнь, вполне соответствующие этическим воззрениям самого Кантемира. В том же году появляется и первая его сатира, столь восторженно встреченная Феофаном Прокоповичем и сразу установившая между ними самый тесный союз. Некоторые биографы стараются изобразить дело так, как будто союз между Прокоповичем и Кантемиром состоялся на почве общей вражды к Голицыну и что как Прокопович, так и Кантемир преследовали личные цели, - первый, опасаясь за свое политическое влияние, второй, негодуя на несправедливость Голицына, влиянием которого отцовское наследие, т. е. состояние в 10000 душ, досталось брату Кантемира, князю Константину Кантемиру, женившемуся на дочери князя Голицына (см. "Древняя и Новая Россия", 1879, том X, статью Корсакова о процессе князя Константина Кантемира с мачехой, урожденной княжной Трубецкой). На самом деле Прокопович и Кантемир не могли сочувствовать Голицыну, как представителю старой боярской партии, относившейся враждебно к реформам Петра; личные соображения играли тут весьма второстепенную роль. Это видно уже из того, что Кантемир несколько не воспользовался своим участием в перевороте 1730 г. для личного обогащения, хотя это было бы для него не трудно. Посвящая первой сатире (характерно озаглавленной "На хулящих учение") восторженные стихотворения, лучшие представители нашей церкви, Прокопович и Кролик, всенародно поспешили признать, что считают тесный союз с 20-летним преображенским поручиком вполне естественным и законным, когда тот, в талантливых стихах, ополчается вместе с ними против врагов Петра и его просветительного дела. Все дальнейшие сатиры (их всего 9) составляют только более подробное развитие мыслей, изложенных в первой. Первое место в них занимает народ, с

его суевериями, невежеством и пьянством, как основными причинами всех постигающих его бедствий. Подают ли высшие сословия хороший пример народу? Духовенство мало чем отличается от самого народа. Купечество думает только о том, как бы обмануть народ. Дворянство к практическому делу совершенно неспособно и не меньше народа склонно к обжорству и пьянству, а между тем признает себя лучше других сословий удивляется, что ему не хотят предоставить власть и влияние. Администрация по большей части продажна. Кантемир бичует не одних только представителей низшей администрации: вчера еще "Макар всем болваном казался", а сегодня он временищик, и картина сразу изменяется. Сатирик наш обращается со словом горькой правды и к представителям власти. "Мало ж пользует тебя звать хоть сыном царским, буде в нравах с гнусным ты же равнишься царским". Он с большим мужеством и с необычайной для его времени силой стиха провозглашает, что "чист быть должен, кто туда, не побледнев, всходит, куда зоркие глаза весь народ наводит". Он считает себя и других вправе смело провозглашать такие мысли, потому что чувствует себя "гражданином" (это великое слово им впервые введено в нашу литературу) и глубоко сознает "гражданский" долг. Кантемира следует признать родоначальником нашей обличительной литературы. Он первый смеялся у нас "смехом сквозь слезы" (это выражение также введено им впервые в нашу литературу), и смеялся им в такое время, когда, казалось, всякое сколько-нибудь свободное слово было просто невысказуемо. 1729 и 1730 были годами наибольшего расцвета таланта и литературной деятельности Кантемира. Он не только написал в этот период свои наиболее выдающиеся сатиры (первые 3) но и перевел книгу Фонтенеля "Разговоры о множестве миров", снабдив ее подробными комментариями. Перевод этой книги составил своего рода литературное событие, потому что выводы ее коренным образом противоречили суеверной космографии русского общества. При Елизавете Петровне она была запрещена, как "противная вере и нравственности". Кроме того, Кантемир переложил несколько псалмов, начал писать басни, а в посвящениях своих сатир проложил путь позднейшим знаменитым составителям од, причем, однако, не скупился на сатирические замечания для выяснения тех надежд, которые русский "гражданин" возлагает на представителей власти. Такой же характер имеют и его басни. Он же впервые прибег к "эзоповскому языку", говоря о себе в эпиграмме "На Эзоп", что "не прям будучи, прямо все говорит знаю", и что "много дум исправил я, уча правду ложно". После переезда за границу Кантемир, за исключением разве первых трех лет, продолжал обогащать русскую литературу новыми оригинальными и переводными произведениями. Он писал лирические песни, в которых давал выражения своему религиозному чувству или восхвалял науку, знакомил русскую читающую публику с классическими произведениями древности (Анакреона, К. Непота, Горация, Эпиктета и других), продолжал писать сатиры, в которых выставлял идеал счастливого человека или указывал на здоровые педагогические приемы (сатиры, VIII), предвещая, до известной степени, задачу, осуществленную впоследствии Бецким; указывал и на идеал хорошего администратора, озабоченного тем, чтобы "правда цвела в пользу людей", чтобы "страсти не качали весов" правосудия, чтобы "слезы бедных не падали на землю" и усматривающего "собственную пользу в общей пользе" (письмо к князю Н.Ю. Трубецкому). Он переводил и современных ему писателей (например "Персидские письма" Монтескье), составил руководство к алгебре и рассуждение о просодии. К сожалению, многие из этих трудов не сохранились. В письме о "сложении стихов русских" он высказывается против господствовавшего у нас польского силлабического стиха и делает попытку заменить его тоническим, более свойственным русскому языку. Наконец, он пишет и религиозно-философское рассуждение, под заглавием "Письма о природе и человеке", проникнутое глубоким религиозным чувством человека, стоящего на высоте образованности. Мучительная смерть очень рано прервала эту кипучую деятельность. Кантемир скончался 31 марта 1744 г., в Париже, и погребен в Московском Никольском греческом монастыре. Литература, посвященная

Кантемиру, еще невелика. К собранию его сочинений, вышедшему под редакцией П.А. Ефремова, приложена биография Кантемира, составленная Стоюниным. Самой обстоятельной критической статьей о Кантемире все еще остается статья Дудышкина, помещенная в "Современнике" (1848). Свод всего написанного о Кантемире и попытку самостоятельного освещения его политической и литературной деятельности у Сементковского: "А.Д. Кантемир, его жизнь и литературная деятельность" (Санкт-Петербург, 1893 г.; биографическая библиотека Ф.Ф. Павленкова) и "Родоначальник нашей обличительной литературы" ("Исторический Вестник", март, 1894). Сатиры Кантемира переведены аббатом Венути на французский язык ("Satures du pr. Cantemir", 1746) и Шпилькером на немецкий ("Freie Uebersetzung der Saturen des Pr. Kantemir", Берлин, 1852).

Р. Сементковский.

## О ОПАСНОСТИ САТИРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ К МУЗЕ СВОЕЙ

1 Музо! не пора ли слог отменить твой  
И сатир уж не писать? Многим те не любви,  
И ворчит уж не один, что, где нет мне дела,  
Там мешаюсь и кажу себя чресчур смела.  
5 Много видел я таких, которые противно  
Не писали никому, угождая льстиво,  
Да мало счастья и так возмогли достати;  
А мне чего по твоей милости уж ждати?  
Всякое злонравие, тебе неприятно,  
10 Смело хулишь, да к тому ж и говоришь внятно;  
Досаждать злым вся жадна — то твое веселье,  
А я вижу, что в чужом пиру мне похмелье.  
Вон Кондрат с товарищи, сказывают, дышит  
Гневом и, стряпчих собрав, челобитну пишет,  
15 Имея скоро меня уж на суд отозвати,  
Что, хуля Клитесов нрав, тщуся умаляти  
Пьяниц добрых и с ними кружальны доходы.  
А Никон, тверды одни любящий доводы,  
Библию, говорят, всю острожской печати  
20 С доски до доски прошел и, не три тетрати  
Наполнив, мудрые в них доводы готовит,  
Что нечистый в тебе дух бороду злословит,  
Что законоломное и неверных дело —  
Полосатой мантию ризою звать смело.  
25 Иной не хочет писать указ об отказе,  
Что о взятках говоришь, обычных в приказе.  
Одним словом, сатира, что чистосердечно  
Писана, колет глаза многим всеконечно —  
Ибо всяк в сем зеркале, как станет смотрети,  
30 Мнит, зная себя, лицо свое ясно зрети.  
Музо, свет мой! слог твой мне, творцу, ядовитый;  
Кто всех бить накалится, часто живет битый,  
И стихи, что чтецам смех на губы сажают,  
Часто слез издателю причина бывают.  
35 Знаю, что правду пишу и имен не значу,  
Смеюсь в стихах, а в сердце о злонравных плачу;  
Да правда редко любя и часто некстати —  
Кто же от тебя когда хотел правду знати?  
Вдругорь скажу: не нравна — угодить не можно,

40 Всегда правду говоря, а хвалить хоть ложно,  
Хоть излишно, поверь мне, более пристойно  
Тому, кто, живя с людьми, ищет жить покойно.  
Чего ж плакать, что народ хромает душою?  
Если б правдой все идти — таскаться с сумою.  
45 Таков обычай! уйми, чтоб шляп не носили  
Маленьких, или живут пусть люди как жили.  
Лучше нас пастыри душ, которых и правы  
И должность есть исправлять народные нравы,  
Да молчат: на что вступать со всем светом в ссору?  
50 Зимой дров никто не даст, ни льду в летню пору.  
Буде ты указывать смеешь Ювенала,  
Персия, Горация, мысля, что как встала  
Им от сатир не беда, но многая слава;  
Что как того ж Боало причастник был права,  
55 Так уже и мне, что следы их топчу, довлеет  
То ж счастье, — позволь сказать, что ум твой шалееет.  
Истая Зевсова дочь перо их водила —  
Тебя чуть ли не с другим кем Память родила.  
В них шутки вместе с умом цветут превосходным,  
60 И слова гладко текут, как река природным  
Током, и что в речах кто зрит себе досадно,  
Не в досаду себе мнит, что сказано складно.  
А в тебе что такого? без всякой украсы  
Болтнешь, что не делают чернца одни рясы.  
65 Так ли теперь говорят, так ли живут в людях?  
Мед держи на языке, а желчь всю прячь в грудях;  
И, враг смертный будучи, тщись другом казаться,  
Если хочешь нечто быть и умным назваться.  
Зачнем, музо, в похвалах перья притупляти,  
70  
Ну-тка станем Туллию приветство писати.  
Туллий, знаешь ты, лукав, что если рассудно  
Истолковать, то в нем ум выхвалить нетрудно.  
Оставя убо, что есть, сделаем такого,  
Каков бы он должен быть; тропа та не нова:  
75 Всяк так пишет, кто хвалить у нас кого хочет,—  
Тому, кого въявь поет, сам в сердце хохочет.  
Туллий не «равен тебе — выбери другого.  
Вот хорош Силван; он тих, не добьешься слова  
У него чрез целый день, и хотя ты знаешь,  
80 Что он с глупости молчит, если пожелаешь —  
Можешь сильно доказать, что муж он не простой,  
Но с рассудства обуздал язык свой преострый.  
И Квинтий, право, хорош; в десть книгу составить  
Можешь, коль дела его захочешь прославить.  
85 Видишь, как приятен он, честно всех примаает,  
Учтиво век говорит, всякого ласкает,  
И всякому силится быть он благодетель,  
Не однажды, как сулит, слов тех Бог свидетель.  
Полно того; а с чего таков он бывает,  
90 Писать незачем: добро, что мало кто знает.

Не пиши того, что он затем столь умилен  
И добр ко всем, что вредить никому не силен.  
Да много таких, об ком списать стопу целу  
Можно; легко их узнать, хоть нет в спине мелу.  
95 Бude ж несроден тебе род тех стихов гадких,  
Запой в Амариллиных объятиях сладких  
Счастливого Титира иль Ирис, бесщадну  
К, бедну Филену. Свою Титир жизнь прохладну  
Не сменит на царскую славу и обильность;  
100 Филен носит на лице жалкую умильность;  
Ведет ли стадо поить, иль пасти на поли —  
Смутен станет, и текут с глаз слезы доволи;  
Ирис, мимо идучи, ход свой ускоряет,  
Смеясь, и, горда, его рану огорчает.  
105 Вскинь глаза на прошлу жизнь мою и подробно  
Исследуй: счастье ко мне ласково и злобно  
Бывало, больше в своей злобе постоянно.  
Почерпнув довольну тут печаль, нечаянно  
Новым уж родом стихов наполним тетради,  
110 Прилично чтецам своим; и что больше кстати  
Нам здесь, смертным, как печаль? Тужить не напрасно  
Можем, приближался к смерти повсечасно.  
Есть о чем писать, — была б лишь к тому охота,  
Было б кому работать — без конца работа!  
115 А лучше век не писать, чем писать сатиру,  
Что приводит в ненависть меня всему миру!  
Но вижу, музо, ворчишь, жмешься и краснеешь,  
Являя, что ты хвалить достойных не смеешь,  
А в ложных хвалах нурить ты не хочешь время.  
120 Достойных, право, хвалить — не наших плеч бремя,  
К тому ж человекья жизнь редко однолична:  
Пока пишется кому похвала прилична,  
Добродетель его вся вдруг уж улетает,  
И смраден в пятнах глазам нашим представляет  
125 Себя, кто мало пред тем бел, как снег, казался.  
Куды тогда труд стихов моих уж девался?  
Пойду ль уже чучело искать я другое,  
Кому б тые прилепить? иль, хотя иное  
В нем вижу сердце, ему ж оставя, образу  
130 Себе в людях навлеку, кои больше глазу  
Верить станут своему, нежли моей бредни,  
Не меряя доброту по толпе в передни.  
Издрав те, скажет кто, сочини другие,  
Третье, десятые; как бы нам такие  
135 Плыли с пера без труда стихи и без поту;  
Пусть он сам отведает ту легку работу!  
А я знаю, что когда хвалы принимаюсь,  
Писать, когда, музо, твой нрав сломить стараюсь,  
Сколько ногти ни грызу и тру лоб вспотелый,  
140 С трудом стишка два сплету, да и те неспелы,  
Жестки, досадны ушам и на те походят,  
Что по целой азбуке святых житье водят.

Дух твой ленив, и в зубах вязнет твое слово,  
Не забавно, не красно, не сильно, не ново;  
145 А как в нравах вредно что усмотрю, умняе  
Сама ставши, — под пером стих течет скоряе.  
Чувствую сам, что тогда в своей воде плавлю  
И что чтецов я своих зевать не заставлю:  
Проворен, весел спешу, как вождь на победу,  
150 Или как поп с похорон к жирному обеду.  
Любовны песни писать, я чаю, тех дело,  
Коиx столько ум неспел, сколько слабо тело.  
Красны губки свежие, что на крайках сносят  
Душу навстречу моей, губ же себе просят;  
155 Молочны груди ладонь мою потягают,  
И жарки взгляды моих глаз взгляд поджидают,  
Довольно моих поют песней и девицы  
Чистые, и отроки, коиx от денницы  
До другой невидимо колет любви жало.  
160 Шуток тех минулося время, и пристало  
Уж мне горько каяться, что дни золотые  
Так непрочно stráтил я, пиша песни тые.  
Кои в весне возраста жаркой любви служат,  
Как невольники в цепях, — пусть о себе тужат,  
165 Вина сущи своему беспокойству сами;  
Я отвык себя ковать своими руками.  
Мне уж слепое дитя должен беспрестанно  
Поводы веселия подавать, и странно  
Ему, чаю, все то, что к печали склоняет.  
170 Если веселить меня собою не знает,  
Тотчас с ним расстануся; с ним уж водить дружбу  
В лишны я часы готов, но не сулю службу.  
К чему ж и инде искать печали причину?  
Не довольно ли она валится на спину,  
175 Хоть бы ея не искать? Если в мои лета  
Минувши скрыться не мог я вражья навета,  
Если счастье было мне мало постоянно —  
Я ль один тому пример? Весь свет непрестанно  
Терпит отмены, и то чудно лишь бы было,  
180 Если б мое в тех валах судно равно плыло.  
Теперь счастливо плыву — то мне одно полно,  
Забываю прошлое, и как мне не вольно  
Будущее учредить время, так и мало  
О том суечусь, готов принять что ни пало  
185 Из руки Всевысшего Царя в мою долю.  
О дней числе моих жду, тих, Его же волю;  
Честна жизнь нетрепетна и весела идет  
К неизбежному концу, ведая, что внидет  
Теми дверьми в новые веки непрестанны,  
190 Где тишина и покой царствует желанный.  
Одним словом, сатиру лишь писать нам сродно  
В другом неудачливы; с нравом не несходно  
Моим, не писав, прожить в лености с тобою.  
Ин, каков бы ни был рок, смелою рукою

195 Злой нрав станем мы пятнать везде неостудно.  
И правда, уж от того и уняться трудно,  
Когда тот, что губы чуть помазал в латину,  
Хвастает наукою и ищет причину  
Безвременно всем скучать долгими речами,  
200 Мня, что мудрость говорит к нам его устами;  
Когда хлебник в золоте и цугом катится,  
Раздутый уж матери подъячий стыдится,  
И бояр лише в родню принять ему нравно;  
Когда мельник, что с волос стрёс муку недавно,  
205 Кручинится и ворчит, и жмурит глазами,  
Что в палате подняли мухи пыль крылами.  
Таким одним сатира наша быть противна  
Может; да их нечего щадить, и не дивна  
Мне любовь их, как и гнев их мне страшен мало.  
210 Просить у них не хочу, с ними не пристало  
Мне вестись, чтоб не счернеть, касался сажи;  
Вредить не могут мне те, пока в сильной стражи  
Нахожуся матери отечества правой.  
А коим Бог чистый дух дал и дал ум здравой,  
215 Беззлобны — беззлобные наши стихи взлюбят  
И охотно станут честь, надеясь, что сгубят,  
Может быть, иль уменьшат злые людей нравы.  
Сколько тем придается им и пользы и славы!

#### О РАЗЛИЧИИ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ К АРХИЕПИСКОПУ НОВГОРОДСКОМУ

1 Дивный первосвященник, которому сила  
Высшей мудрости свои тайны все открыла  
И все твари, что мир сей от век наполняют,  
Показала, изъяснив, отчего бывают,  
5 Феофан, которому все то далось знати,  
Здрава человека ум что может поняти!  
Скажи мне (можешь бо ты!): всем всякого рода  
Людям, давши тело то ж и в нем дух, природа -  
Она ли им разные наделила страсти,  
10 Которые одолеть уже не в их власти,  
Иль другой ключ тому ручью искать нужно?

На Хрисиппа первый взгляд вскинь, буде досужно:  
Хрисипп, хоть грязь по уши, хоть небо блистает  
Огнями и реки льет, Москву обегает  
15 Днем трожды из краю в край; с торгу всех позднее,  
Вчерашний часто обед кончает скорее,  
Чем в приходский праздник поп отпоет молебен.  
Сон, отрада твари всей, ему не потребен,  
По вся утра тороплив, не только с постели,  
20 Но выходит из двора - петухи не пели.  
Когда в чем барыш достать надежда какая,  
И саму жизнь не щадит. Недавно с Китая,  
С край света прибыв, тотчас в другой уж край света

Сбирается, несмотря ни на свои лета,  
25 Ни на злобу воздуха в осеннюю пору;  
Презирает вод морских то бездну, то гору;  
Сед, беззуб и весь уж дряхл на корабль садится,  
Не себя как уберечь, но товар, крушится.  
Торгует ли что Хрисипп - больше проливает  
30 Слез, больше поклон кладет, чем денег считает.  
Когда продает - божбы дешевле товару;  
И хоть Москву всю сходить - другого под пару  
Не сыщешь, кто б в четверти искусней осьмушку,  
У аршина умерял вершок, в ведре - кружку.  
35 Весь вечер Хрисипп без свеч, зиму всю колеет,  
Жалея дров; без слуги обойтись умеет  
Часто в доме; носит две рубашку недели,  
А простыни и совсем гниют на постели.  
Один кафтан, и на нем уж ворса избита  
40 Нить голу оставила, и та уж пробита;  
А кушанье подано коли на двух блюдах,  
Кричит: "Куды мотовство завелось в людях!"

За пищу, думал бы ты, Хрисипп суетится,  
Собирая, чем бы жить; что за ним тащится  
45 Дряхла жена и детей куча малолетних,  
Что те суть его трудов причина приметных.  
Да не то, уж сундуки мешков не вмещают,  
И в них уж заржавенны почти истлевают  
Деньги; а всей у него родни за душою -  
50 Один лишь внук, да и тот гораздо собою  
Не убог, деда хотя убожее вдвое.  
Скупость, скупость Хрисиппа мучит, не иное;  
И прячет он и копит денежные тучи,  
Думая, что из большой приятно брать кучи.  
55 Но если из малой я своей получаю  
Сколько нужно, для чего большую, не знаю,  
Предпочитает? Тому подобен, мне мнится,  
Хрисипп, кто за чашею одною тащится  
Воды на пространную реку, хотя может  
60 В ручейке чисту достать. Что ему поможет  
Излишность, когда рака, берег под ногами  
Подмыв, с ними и его покроет струями.  
Клеарх сребролюбия и тени боится,  
Весь, от головы до пят, в золоте он снится;  
65 Дом огромный в городе, дом и за Москвою,  
Оба тщивости самой убранны рукою;  
Стол пространный, весь прибор царскому подобен,  
Чрез толпу слуг, золотом облитых, удобен

К нему доступ и певцам, и сводникам гнусным,  
70 И б...м, и всех страстей затеям искусным,  
Которых он полною горстью осыпает.  
Новы к сластолюбию тропы прочищает  
Бесперечь, о том одном ночь, день суетится.

Крезуса богатеe быть кому возмнится,  
75 Хотя доходы его моих не пошире  
И с трудом станут ему дни лишь на четыре;  
Прочее в долг набрано обманом, слезами,  
Клятвами и всякими подлыми делами.  
Растет долг, и к росту рост на всяк день копится,  
80 Пока Клеарх наш весь гол в тюрьме очутится,  
Заимодавцам своим оставя в награду  
Скучну надежду, суму, слезы и досаду.  
Два-три плутца в пагубе многих разжирели,  
Что и белок и желток высосать умели.

85 С зарею вставши, Менандр везде побывает,  
Развесит уши везде, везде примечает,  
Что в домех, что в улице, в дворе и в приказе  
Говорят и делают. О всяком указе,  
Что вновь выдет, о всякой перемене чина  
90 Он известен прежде всех, что всему причина,  
Как "Отче наш", - наизуст. Три дни брюху дани  
Лучше не даст, чем не знать, что привез с Гиляни  
Вчераcь прибывший гонец, где кто с кем подрался,  
Сватается кто на ком, где кто проигрался,  
95 Кто за кем волочится, кто выехал, въехал,  
У кого родился сын, кто на тот свет съехал.  
О, когда б дворяне так наши свои знали  
Дела, как чужие он! не столько б их крали  
Дворецкий с приказчиком, и жирнее б жили,  
100 И должников за собой толпу б не водили.

Когда же Менандр новизн наберет нескучно,  
Недавно то влитое ново вино в судно  
Кипит, шипит, обруч рвет, доски подувая,  
Выбьет втулку, свирепо устьми вытекаая.  
105 Встретит ли тебя - тотчас в уши вестей с двести  
Насвищет, и слышал те из верных рук вести,  
И тебе с любви своей оны сообщает,  
Прозя держать про себя. Составить он знает  
Мнению окружности своему прилично;  
110 Редко двум ту ж ведомость окажет однолично,  
И веру сам наконец подаст своей бредни,  
Ежели придет к нему из знатной передни.  
Сказав, тебя как судья бежит осторожный  
Просителя, у кого карман уж порожный,  
115 Имея многим еще в городе наскучить.

Искусен и без вестей голову распучить  
Тебе Лонгин. Стерегись, стерегись соседом  
Лонгина, не завтракав, иметь за обедом.  
От жены, детей своих долгое посольство  
120 Отправит тебе, потом свое недовольство  
Явит, что ты у него давно не бываешь,  
Хоть больну быть новыми зубами дочь знаешь:

Четвертый уже зубок в деснах показался,  
Ночь всю и день плачется; жар вчера унялся.  
125 Другую замуж дает, жених знатен родом,  
Богат, красив и жены старее лишь годом.  
Приданое дочерне опишет подробно,  
Прочтет рядную всю сплошь, и всяку особно  
Истолкует в ней статью. Сын меньшей, недавно  
130 Начав азбуку, теперь чтет склады исправно.  
В деревне своей копать начал он пруд новый,  
Тому тотчас, иль чертеж с кармана готовый  
Вытаща, под нос тебе рассмотреть положит,  
Иль на ту стать ножики и вилки разложит.  
135 Сочтет, сколько в ней берет оброку, земли, что  
К какому всяк у него спеет овощ сроку,  
И владельцев всех ее друг за другом точно  
От потопа самого, и как она прочно  
Из руки в руку к нему дошла с приговору  
140 Судей, положи конец долгу с дядей спору.  
Милует же тебя бог, буде он осаду  
Азовску еще к тому же не прилепит сряду;  
Редко минует ее, и день нужен целый -  
Выслушать всю повесть ту. Полководец зрелый,  
145 Много он там почудил, всегда готов к делу,  
Всегда пагубен врагу. Тут-то уж без мелу,  
Без верви кроить обык, без аршина враки;  
Правды где-где крошечны увидишь ты знаки.

Да где все то мне списать, что он в стол наскажет!  
150 Не столько зерн, что в снопах мужик в день навяжет,  
Не столько купец божбы учинит в продаже  
Товаров чрез целый год, и не столько в краже  
Раз пойман, давши судье целовальник плату,  
Очистит себя и всю казенну утрату.  
155 Весь в пене, в поту, унять уст своих не знает,  
Не смеет плюнуть, сморкнуть. Тогда же он чаёт,  
Что весь - ухо, языка во рту не имеешь;  
Говорить тебе не даст, хоть даст, - не успеешь.

Варлам смирен, молчалив; как в палату войдет -  
160 Всем низко поклонится, к всякому подойдет;  
Глаза в землю втупит; в угол свернувшись потом  
Чуть слышать, что говорит; чуть - как ходит, ступит.  
Бесперечь четки в руках, на всякое слово  
Страшное имя Христа в устах тех готово.  
165 Молебны петь и свечи класть склонен без меру,  
Умильно десятью в час выхваляет веру  
Тех, кои церковную славу расширили  
И великолепен храм божий учинили;  
Души-де их подлинно будут наслаждаться  
170 Вечных благ. Слово к чему, можешь догадаться:  
О доходах говорить церковных склоняет;  
Кто дал, чем жиреет он, того похваляет,

Другое всяко не столь дело годно богу;  
Тем одним легку сыскать можем в рай дорогу.  
175 Когда в гостях, за столом - и мясо противно,  
И вина не хочет пить; да то и не дивно:  
Дома съел целый каплун, и на жир и сало  
Бутылки венгерского с нуждой запить стало.  
Жалки ему в похотях погибшие люди,  
180 Но жадно пялит с-под лба глаз на круглы груди,  
И жене бы я своей заказал с ним знаться.  
Бесперечь советует гнева удаляться  
И досады забывать, но ищет в прах стерти  
Тайно недруга, не даст покой и по смерти;  
185 И себя льстя, бедный, мнит: так как человеки,  
Всевидцы легко прельщать бога вышня веки.

Фока утро все торчит у знатных в передней,  
И гнет шею, и дарит, и как бы последней  
Слуг низится лишь затем, чтоб чрез свою службу  
190 Неусыпную достать себе знатных дружбу  
И народ бы говорил: вишь, как почитают  
Господа Фоку, - шепчут с ним, с собой сажают.  
Застроил огромный дом, который оставит  
Детей его по миру; даром тот доставит  
195 Ему имя тщивого при позднем потомстве.  
С родословными писцы, с творцами в знакомстве,  
Сыплет он их деньгами, чтоб те лишь писали  
В славу его. Кто сочтет, во что ему стали  
Тетради, что под его именем недавно  
200 Изданы? Услышав он, что гораздо славно  
Ранами военными иметь полно тело, -  
Нос разбить и грудь себе расчертить снес смело.  
Так шалеет, чтоб достать в жизнь и по смерти славы,  
Когда к ней одни ведут лишь добрые нравы.

205 Гликон ничего в других хвально не находит:  
Приятен ли кто во всем, святу ль жизнь кто водит,  
Учен ли кто, своему в красу цветет роду,  
Дал ли кто власть над огнем, иль укрощать воду,  
Одолел ли кто враги сильны и отважны,  
210 К пользе ли кто общества ввел законы важны -  
Все то ничто. О себе Гликон уж противно  
Рассуждает: всякое слово его дивно,  
Все поступки - образцы. Что в ум ему вспало,  
Не оспоришь веки; дивится немало,  
215 Что главно правление всего государства  
Царь давно не дал ему во знак благодарства.  
В ум свой не может вместить, что не все вздыхают  
Девушки по нем, любви кои сладость знают.  
Собою наполнен весь, себя лишь чтить смыслит,  
220 По своим годам почин счастья людей числит,  
Чая, что смысленна тварь глаз, ухо имеет  
Для того, чтоб дивиться тому, что он деет,

И слушать, что говорит; а то бы и дела  
Не осталось нашего тем двум частям тела.

225 Клитес, отважней чернцов сует мирских бремя  
Презирая, все живет беспечален время.  
Глаза красны, весь распух, из уст как с захода  
Вонь несет; доходы все не стают в полгода.  
Когда примется за что - дрожат руки, ноги,  
230 Как под брюхатым дьяком однокольные дроги.  
Нищ, дряхл, презрен, лучшему счастьем не завидит,  
Когда полну скляницу в руках своих видит;  
И сколь подобен скоту больше становится  
Бессмысленну, столько он больше веселится.

235 В палату вшедши Иркин, где много народу,  
Распихнет всех, как корабль плывущ сечет воду,  
И хоть бы знал, что много злата с плеч убудет,  
Нужно продраться вперед, взадь стоять не будет.  
Садится ли где за стол - то то, то другое  
240 Блюдо пред собой подать велит, снять иное;  
Приходят из его рук с здоровьями кубки;  
Зависеть от его слов всех должны поступки.  
Распялив грудь, бровь подняв, когда знак ти оком  
Подаст за низкий поклон, - в почтеньи глубоком  
245 Имеет тя, ибо с кем проговорить слово  
Удастся не всегда, не всегда готово.  
Мнит он, что вещество то, что плоть ему дало,  
Было не такое же, но нечто сияло  
Пред прочими; и была та фарфорна глина -  
250 С чего он, а с чего мы - навозная тина.  
Созим, смотря на него, злобно скалит зубы,  
И шепчут мне на ухо ядовиты губы:  
"Гораздо б приличнее Иркин протомою  
Помнил бабушку свою и деда с сумою,  
255 Умеряя по семье строй свой и походку.  
Гораздо б приличнее зашил себе плотку,  
Чтоб хотя один глупец обмануться станом  
Его мог, а не весь свет окрестил болваном".  
Созим дело говорит, но Иркину б мочно  
260 Дружеский подать совет, чем ему заочно  
Насмеваться без плода; но о всех так судит  
Строго Созим: "Чистую удачливо удит  
Золотом мягкий Силван супругу соседа;  
У Прокопа голоден вышел из обеда;  
265 Настя румяна, бела своими трудами,  
Красота ея в ларце лежит за ключами;  
Клементий, судья, собой взятсья не умеет  
Ни за что и без очков дьяка честь не смеет".  
Ни возраст, ни чин, ни друг, ни сам ближний кровный  
270 Язык Созимов унять не может злословный.  
Я несчастливый тот день себе быть считаю,  
Когда мне случится с ним сойтись, ибо знаю,

Что как скоро с глаз его сойду - уж готово  
Столь злобное ж обо мне будет ему слово.

275 Сообществу язва он; но больше ужасен  
Трофим с сладким языком, и больше опасен.  
Может в умных клевета пороки заставить  
Нечувствительны пред тем полезно исправить;  
Трофим, надсажаясь, все хвалит без разбору, -  
280 Прирастет число глупцов. Веру даем скору  
Похвалам мы о себе, и, в сердце вскользая,  
Истребят до корени, буде в нем какая  
Крылась к добродетели ревность многотрудна.  
Самолюбием душа ни одна не скудна,  
285 И одним свидетелем совершенно чаем  
Хвальными себя, затем в пути унываем.  
Не успев Тит растворить уст, Трофим дивится  
Искусной речи его; прилежно трудится  
И сам слушать, и других слушать принуждает,  
290 Боясь чихнуть иль дохнуть, пока речь скончает,  
Котору мне выслушать нельзя, не зевая.  
У Тита на ужине, пальцы полизая,  
Небесным всякий зовет кусок, хоть противен  
Ему гадит. Нигде он не видал столь дивен  
295 Чин и столько чистоту. Все у Тита чудно  
В доме, и сам дом почесть раем уж нетрудно.  
Если б Титова жена Парису знакома  
Был, - Менелаева пряла б пряжу дома.  
Все до облак Титовы дела возвышает,  
300 Тит и нос сморкнуть кривой весьма умно знает.  
И не отличен ему Тит один, но равно  
Всякому льстит. Все ему чудно и преславно,  
И мнит, что тем способом любим всем бывает.  
В с.....м горшке, в столчаке твоём он признает  
305 Дух мскусный и без стыда подтверждать то станет.  
Невий бос и без порток из постели встанет  
Пятью и десятью в ночь, осмотрит прилежно,  
Заперты ли окна все и двери надежно,  
На месте ль лежит ларец, и сундук, и ящик.  
310 Сотью шлет в деревню он изведать, приказчик  
Не крадет ли за очми; за дворецким ходит  
Сам тайно в ряд; за собой слуг своих не водит,  
Чтоб, где берет, где кладет он деньги, не знали.  
Котел соседу ссудил - тотчас думы вспали,  
315 Что слуга уйдет с котлом; тотчас шлет другого  
По пятам за ним смотреть; и спустя немного  
Пришло в ум, что сам сосед в котле отпереться  
Может, - воротить слугу третий уже шлетя.  
Вскинет ли глаз на кого жена ненарочно,  
320 Невий чаёт, что тому уж ожидать мочно  
Все от жены, и затем душу свою мучит:  
Детей мать долги копить потаенно учит;  
Друг шепчет ли что с другим - Невию наветы

Строят иль смеются те. Меряет ответы  
325 Долго на всякий вопрос, бояся обмана  
Во всем. Подозрителен весь свет, и изъяна  
Везде опасается. В таком непрестанно  
Беспокойстве жизнь свою нудит окаянно.  
Я б на таком не хотел принять договоре  
330 Ни самый царский престол: скучил бы мне вскоре  
И царский престол. Суму предпочту в покое  
И бедство я временно, сколь бы то ни злое,  
Тревоге, волнению ума непрестанну,  
Хоть бы в богатство вели, в славу несказанну;  
335 Часто быть обманутым предпочту, конечно,  
Нежли недоверием мучить себя вечно.

Не меньше мучит себя Зоил наш угрюмый:  
Что ни видит у кого - то новые думы,  
Нова печаль, и не спит бедный целы ночи.  
340 Намедни закинув он завистные очи  
В соседний двор и видя, что домишко строит,  
Который, хоть дорого ценить, ста не стоит  
Рублей, побледнел весь вдруг и, в себе не волен,  
Горячкою заболел, по сю пору болен.  
345 У бедного воина, что с двадцать лет служит,  
Ощупав в кармане рубль, еще теперь тужит.  
Удалось ли кому в чин неважный добиться,  
Хвалят ли кого - ворчит и злобно дивится  
Слепому суду людей, что свойства столь плохи  
350 Высоко ценит. В чужих руках хлеба крохи  
Большим ломтем кажутся. Суму у убогих,  
Бороду у чернеца завидит, и в многих  
Случаях... да не пора ль, муза моя, губы  
Прижав, кончить нашу речь? Сколь наши ни любви  
355 Нам речи, меру в них знать здравый смысл нас учит;  
Всякому лишно долга речь уху наскучит.  
И должно помнить тебе, с кем мне идет слово.  
Феофана чаешь ли не иметь иного  
Дела, разве выспаться, досыта покушать  
360 И, поджав руки, весь день стихи мои слушать?  
Пастырь прилежный своим о стаде радует  
Недремно; спасения семя часто сеет  
И растить примером он так, как словом, тщится.  
Главный и церкви всея правитель садится  
365 Не напрасно под царем. Церковныя славы  
Пристойно защитник он, изнуренны нравы  
Исправляет пастырей и хвальный чин вводит.  
Воля нам всевышнего ясна уж исходит  
Из его уст и ведет в истинну дорогу.  
370 Неусыпно черпает в источниках многу  
Чистых мудрость: потекут оттуду приличны  
Нам струи. Труды его без конца различны.

Знает же лучше тебя, сколь мыслью и дела

Разнит мир; жизни к тому тесны суть пределы  
375 Списать то, что всякому любить на ум вспало.  
Людей много, и страстей, ей, в людях немало:  
Кастор любит лошадей, а брат его - рати,  
Подъячий же силится и с голого драти.  
Сколько глав - столько охот и мыслей различных;  
380 Моя есть - стихи писать против неприличных  
Действ и слов; кто же мои (и я не без пятен)  
Исправит - тот честен мне будет и приятен.

## ГОРОДСКАЯ И ПОЛЕВАЯ МЫШЬ

1 Издавна в дружбе к себе верною познанну,  
Градскую некогда мышь полевая в гости  
Зазвала в убогую нору непространну,  
Где без всякой пышности, от воздуха злости  
5 Щитяся, вела век свой в тишине покойный.  
Мох один около стен, на полу солома  
Составляла весь убор, хозяйке пристойный;  
В лето собранный запас щель, лишь ей знакома,  
К умеренну корму ей тут же сокрывая.  
10 Торовата, для гостя крупы, и горохи,  
И оглоданный кусок от окорка края  
И подносит черствые ему хлеба крохи,  
Разнством яств приятнее обед учинити  
Желая; но гордым той зубом, пожимаясь,  
15 Того, другого куснет - и невкусно быти  
Все находит; а бедна хозяйка, стараясь  
Гостю, пищу лучшую себя, угодити,  
Ест сама вялый ячмень и гнилу мякину.  
Напоследок он так к ней начал говорить:  
20 "Никак я, дружок, дознать не могу причину,  
Для чего ты на горах пустых меж лесами  
Жить избрала, и людей обществу любезну,  
И городов красоте, обильных сластями,  
Так бедную предпочла жизнь и неполезну?  
25 Оставь, поверь мне, твое жилище, так дико,  
И мне следуй. Всякому животну земному  
Земной рок пал, и хотя мало, хоть велико  
Неизбежную смерть ждет, всякому знакому.  
Для того можно пока, отложив все время  
30 И печалей и сует, живи, наслаждаясь  
Мира вещми, и помни, сколь коротко время  
Жизни твоей, на всяк час к концу приближаясь".  
Лестны дружины слова нетрудно склонили  
Мышь лесную, и, тотчас из норы легонько  
35 Выскочив, в намеренный обе путь вступили,  
В темный час в город войти имея тихонько.  
Средину неба уж ночь самую обняла,  
Когда обеим был вход в огромны палаты,  
Златотканна где парча обильно блистала  
40 На кроватях костяных; останки богаты

Где пышной вчерашняя ужины хранены  
В многих зрелись кошницах. Тогда полевую  
Гостью уложив на те парчи позлащенные,  
Гражданка бежит, тащит то ту, то другую  
45 И подносит лакому еству, прикушая  
Сама прежде, как слуги все звыкли чинити.  
Поселянка, на златых себя растягая  
Коврах, радость всю в себе не может вместити  
В счастья премене такой: пирует обильно,  
50 Веселым другу себя гостем являть ищет, -  
Когда вдруг у дверей стук, поднявшийся сильно,  
Обеих с ложа согнал. По комнате рыщет  
Без ума, в дрожи, в поту, одна за другою;  
Еще страх удвоился, когда зазвучали  
55 Криком меделянских псов своды. Уж с душою  
В зубах, лесная тогда другу, что с печали,  
С стыда и страха поднять чуть голову может,  
"Нет, такая, - говорит, - жизнь мне негодна;  
Пред тобой в лесу, в щели, хоть корку зуб гложет,  
60 От наветов я живу в покое свободна".  
Степень высока, богатство бывают  
Без беды редко, всегда беспокойны.  
Кои довольны в тишине быть знают  
Малым, те зваться умными достойны.

## Эпиграммы

### I. НА САМОЛЮБЦА

1 Наставляет всех Клеандр и всех нравы судит:  
Тот спесив, тот в суетах мысли свои нудит;  
Другой в законе не тверд, и соблазны вводит,  
И науки новостью в старый ад нисходит, -  
5 Наведи и на себя, Клеандр, зорки очи,  
Не без порока и ты; скажу, нет уж мочи:  
Самолюбец ты, Клеандр; все, кроме тя, знают:  
Слепец как ведет слепца, в яму упадают.

### II. НА ИКОНУ СВЯТОГО ПЕТРА

"Что с ключом, Петре, стоишь?" - "Хочу впустить дети  
Восточные церкви в рай". - "А что в папски сети  
Впали, будут ли они стоять за дверями?" -  
"Есть, есть у них свой ключарь; войдут те и сами".

### III. НА БРУТА

Умен ты, Бруте, порук тому счесть устанешь;  
Да и ты же, Бруте, глуп. Как то может статься?

Изрядно, и, как я мню, могу догадаться:  
Умен ты молча; а глуп, как говорить станешь.

#### IV. НА СТАРУХУ ЛИДУ

На что Друз Лиду берет? дряхла уж и седа,  
С трудом ножку воробья сгрызет в полобеда. -  
К старине охотник Друз, в том забаву ставит;  
Лидой медалей число собранных прибавит.

#### V. О ПРИХОТЛИВОМ ЖЕНИХЕ

1 Гораздо прихотлив ты, дружок мой Эраздо.  
Все девки наши за тя сватались бесстыдно,  
А ты сед и неженат: выбрать было трудно.  
Та стара, та неумна, та рода не славна,  
5 Та не красна, та гола, та не добронравна;  
Все негодны. Прихотлив ты, друг мой, гораздо.

#### VI. ХРОНОСТИЧЕСКАЯ НА КОРОНАЦИЮ ПЕТРА II

ПЕТР ПРИЯ СВЫШЕ КРЕПКУ ВЛАСТЬ НА ЛЮДИ  
Венчаньем. Творче, помощь крепка буди.

#### VII. К ЧИТАТЕЛЯМ САТИР

В обществе все писано, имена не ваши;  
Чтите убо без гневу сии стихи наши.  
А буде не нравен слог, что вам досаждает,  
Смените нрав, - то сатир не вас осмеваает.

#### VIII. НА ЛЕАНДРА, ЛЮБИТЕЛЯ ЧАСОВ

1 Пять стенных, пять столовых и столько ж карманных  
Имеет Леандр часов; в трудах несказанных  
Век за ними возится, заводя и правя,  
И то взад, то наперед по теченью ставя  
5 Солнца стрелки. С тех трудов кой плод получает?  
Никто в городе, кой час, лучше его знает.

#### IX. НА ГОРДОГО НОВОГО ДВОРЯНИНА

1 В великом числе вельмож Сильван всех глупее,  
Не богачей, не старей, делом не славнее;  
Для чего же, когда им кланяются люди,  
Кланяются и они, - Сильван один, груди  
5 Напялив, хотя кивнуть головой ленится?  
Кувшин с молоком сронить еще он боится.

## Крылов Иван Андреевич

### Об авторе:

### Ю. И. Айхенвальд.

### Крылов

Большинство произведений Крылова имеют лишь исторический интерес; самая личность его тоже привлекает к себе не сочувственные, а только внимательные и удивленные взоры, и грузная масса равнодушия, какую представлял собою ленивый и сонный старик, никогда не будет обвеяна в потомстве дыханием любви. Но басни его, басни, эта национальная быль, одинаково затверженная дедами и внуками, ярко расцветившая собою наш обеденный разговор, - вот что сделалось любимым достоянием русского народа. Как их автор, Крылов у нас" - единственный, ни на кого не похожий, никем не повторенный. Они проникнуты особою незабываемой выразительностью, и ее, с внешней стороны, достигает наш писатель какой-нибудь неожиданной и богатой рифмой, звукоподражанием, аллитерацией, переходом от многосложной строки к двухсложной или тем, что, в своем художественном лаконизме, центр логической и нравственной мысли он сжато заключает в одно слово или в один стих, короткий, но многозначительный ("и стал осел скотиной превеликой", "друг этот был лиса", "то были два осла"). Иногда он мимоходом, даже без отношения к главному сюжету, в спокойно-ироническом тоне, набрасывает целую бытовую картинку, например в басне "Муха и дорожные":

*Гуторя слуги вздор плетутся вслед шажком;  
Учитель с барышней шушукуют тишком;  
Сам барин, позабыв, как он к порядку нужен,  
Ушел с служанкой в бор искать грибов на ужин...*

Иногда у него - красивый и поэтический пейзаж: с вершины кавказских гор видел орел излучистые реки, цветущие луга и рощи, -

*А там сердитое Каспийско море,  
Как ворона крыло, чернелось вдали.  
Иногда он скажет с изящным остроумием:  
Насытил злость комар; льва жалует он миром:  
Из Ахиллеса вдруг становится Омиром  
И сам  
Летит трубить свою победу по лесам.*

И какое счастье, что его басни облечены именно в эту живую форму! Что, если бы их мораль, старинная и почтенная, звучала без иронии, без улыбки, без шутовства, - тяжелая, как фигура самого Крылова? Но нет, в проказливой меткости своего стильного языка, в оболочке своей фабулы и лукавой характеристики, они легки, игривы, задорны, и

они живут - искристые, свежие, звонкие, - как живет сама жизнь, сама житейская мудрость.

Однако житейская мудрость не есть самое высокое и ценное в мире. То, что проникнуто ею, стелется по земле и не служит идеальным запросам духа. Крылов, любивший в юности посещать базары и шумные площади, разлил по своим произведениям большой и богатый жизненный опыт, и если послушаться его басен, принять их мораль, приобретенную на рынке житейской суеты, то можно хорошо приспособить себя к действительности. Не этому учат великие учителя. Этому учить и вообще не приходится, так как на приспособление к жизни сами собою, без чуждого Поощрения, направляются заботы каждого. Отсюда басня поневоле мелка.

Да и потому, что она толкует о животных, о растениях, о вещах, она не может вместить в себя человеческой многосторонности и тонкости. Есть, конечно, особая красота в самом приближении к элементарности и наивности существования, в самом замысле не дать людям зазнаться, упростить сомнительную сложность людских отношений, свести ее к немногим и бесхитростным линиям басни и воскресить полузабытое исконное родство человека и животных, для того чтобы в ряде примеров и притч разобрать на отдельные нити всю психологическую ткань жизни. Но этой цели достигнуть нельзя, потому что и для такого художника, каким был Крылов, мир людей и мир животных остаются несоизмеримы. Широкие и крупные штрихи, которые применяет басня, не соответствуют разнообразной игре человеческой физиономии и души в ее наиболее интересных и глубоких проявлениях. Басня только приблизительна. Она скользит по поверхности.

И баснописец не возвышается над другими; то, что он почерпает из окружающего, вполне обыкновенно, и его устами говорит средний человек; в этом - его существенный признак, и в этом - его сила и власть над умами, над средними умами. Он для всех понятен. Крылов всем - дедушка. И говорит он исключительно о том, что бесспорно, по крайней мере - в житейском смысле. Но бесспорна и пошлость, бесспорно все слишком общее, не индивидуализованное, все чуждое оттенков. Поэтому и сюжет басни имеет характер общедоступный. Бродячий, он принадлежит всем; характерно, что на басню не существует права собственности.

Гоголь в заслугу вменяет Крылову то, что он обладал "умом выводов" и был сродни пословице, которая "не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположение о деле, но уже подведенный итог делу, отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий". Между тем как раз это и не составляет заслуги, как раз в этом и состоит малость Крылова. Живая пословица русской литературы, Санчо Панса нашего быта, он не имеет никакого a priori. Чуждый "возвышающего обмана", с подлинным верный, не свои требования, идеалы и запросы противопоставил он жизни, а к ней приладил себя, пошел не мудрствуя по ее стопам и в результате явился перед нами как ее внимательный и послушный выученик. Неправда Крылова - в том, что он прав, слишком прав.

Крылов не видит кругом себя ничего сложного; жизнь рисуется ему в общих, прямых и скудных очертаниях, и для него жизненные ларчики открываются просто; незаметны и непонятны ему загадочные и запутанные сплетения. Если жизнь проста и не нужны для нее мудрецы механики, то средний человек, а вслед за ним и баснописец, его покровитель, его певец, не может не относиться к науке и философии с большою долей недоверия. Они представляются ему в свете педантическом и смешном. Здравый смысл - самое надежное руководство, высший трибунал, который удовлетворяет все потребности бытия. Следуйте ему, как это делал огородник, и вам будет хорошо и выгодно; философ же останется без огурцов - а хуже такого жребия, конечно, ничего не может и вообразить себе поклонник здоровой рассудительности. Он признает умеренную пользу и скромную цену просвещения; однако пучина знаний для него страшна, и дерзкий ум отважного водолаза находит себе погибельный, но и поучительный конец. Уже с юных дней надо следить за тем, чтобы не напитаться ученьем вредным. Червонец души

теряет свой блеск и ценность от чрезмерной культуры; о некоторых приходится даже, в шутку, сказать: "они же грамоте, к несчастью, знали". Несчастье знания расширявает привычные устои жизни. Мысль, предоставленная самой себе, способна зажечь пожар, в котором погибнут и ее зачинатель, и его последователи. Поэтому не снимайте узды с ретивого коня; упоенный свободой, он сбросит седока и убьется сам, - "как ни приманчива свобода, но для народа не меньше гибельна она, когда разумная ей мера не дана". Вот почему сочинитель - это супостат, худший разбойника; он вселяет безверие, отравляет ум и сердце детей и, что для обывателя особенно страшно, осмеивает супружество, начальства, власти. Он величает безверие просвещением, и если теперь целая страна полна убийствами и грабежами, раздорами и мятежами, то этому виною не кто другой, как именно сочинитель. Вольтеру в аду придется горше, чем разбойнику.

Всякий порыв, всякое стремление и сомнение, пытливые странствие духа противны умеренному и спокойному человеку, оседлому жителю жизни. Не стремитесь "поверить быль с молвой", не спешите в даль, вспомните судьбу бедного голубка, который покинул родную землю и родного брата, - живите дома. И дома будьте домовиты, хозяйственны, заботливы, не отдавайтесь легкомысленно песням: иначе вас осмеет и покарает жестокая добродетель муравья.

Мировоззрение среднего человека окрашено несимпатичной краской житейского пессимизма - ее же принимает и баснописец. Идите по жизни с оглядкой, с опаской, не доверяйте людям. Берегитесь друга: он либо хитер, либо глуп - лиса или медведь. И вообще, человеческая дружба устойчива только до первой кости, как вечный мир заключается до первой ссоры. Когда вас хвалят, то это корыстно, как взаимные похвалы кукушки и петуха, как лесть коварной лисицы; если вы поверите чуждому одобрению, вы потеряете свой кусок хлеба, свой кусок сыру. Недаром лучший и наиболее художественный образ, какой написал Крылов в галерее своих людей-животных, - это лиса в ее многообразной роли. Не верьте, чтобы она когда-нибудь отрешилась от своей хитрости; дайте вору хоть миллион, он воровать не перестанет. Да чего и ждать от такой действительности, где приходится терпеть обиды от осла, где одобряют ослы ослыво красно-хитро-сплетенно слово, где паук норовит заткать солнце орлу?..

Слишком хорошее знание жизни с ее опасностями, которые требуют быть настороже, не исключает, впрочем, у баснописца критического отношения к тому, что в ней могуче, властно и богато, не уничтожает искреннего и смелого демократизма; порою, эпизодично, раздается даже протест против лежачести камня, против стоячей воды пруда. Крылов знает, что "есть и в браминах лицемеры"; он делает упреки и дает советы самой силе. В басне "Пестрые овцы" он показал, как царственный лев умеет оставаться в стороне, а молва считает злодеями только его исполнителей-волков. Все эти с червонцами мешки, воеводы и судьи, умные умом своих секретарей, все эти осиновы чурбаны в роли царей, аристократы-гуси и волки, пасущие овец, - никто из них не ускользает от насмешки баснописца. И он видит и ценит не только нарядные листья, но слышит и голос корней, подземную работу скромных и темных кормильцев.

И все же Загорецкий поступил бы напрасно, если бы, назначенный цензором, он, по своему обещанию, налег на басни, "смерть свою". "Насмешки вечные над львами, над орлами" в сущности не страшны. Сатирик сам никогда не бывает чужд предмету своей сатиры. А сатирик-баснописец особенно добродушен, и уж ни в каком случае он не радикален, не опасен. Басни мог бы сочинять и Молчалин. Их пишет человек спокойный. Трудно представить себе баснописца не стариком; сам Крылов выступил в этой роли уже на пятом десятке. Басни пишет человек довольный и примиренный - он подобрал как будто все ключи к жизни и уверенно побрякивает их связкой.

Но удовлетворенность баснописца, его ленивое благодушие, не есть то просветленное благоволение к жизни, та высшая мудрость, которая побуждает жить с миром в мире, принять и благословить его: нет, Крылов доволен потому, что он не требователен. Зато

*сам он не удовлетворяет чужим требованиям, когда они идут за пределы житейской практичности, неподражаемой формы и пленительного юмора.*

Каиб<sup>58</sup>

### **Восточная повесть**

Каиб был один из восточных государей; имя его наполняло вселенную. "Слава твоя, - говорил ему некто из его стихотворцев, - слава твоя была бы подобна солнцу, если бы оно не заходило". Каибу нравились хорошие сравнения; и за это, пожаловав его в евнухи, сделал зрителем над своею сералью. Богатства Каибовы были неисчерпаемы; дворец его, говорит историк, был обнесен тысячею яшмовых столбов, коих капители были изумрудные, коринфского ордена, а тумбы из чистого литого золота; дворец сей был сделан из черного мрамора, и стены его были столь гладко вылощены, что лучшие щеголихи смотрелись в них, как в зеркало. Окны были пропорции новейшей италийской архитектуры, немного более того, как делаются городские ворота, и во всяком окне было только по одному стеклу, но которые были так тверды, что потачливейшие мужья нынешнего времени не в состоянии были бы прошибить их своим лбом. Крышка была из листового серебра, но столь чисто отработанного, что часто в ясные дни целый город сбегался ко дворцу, думая, что он горит, когда всю сию тревогу производило одно ее сияние. Заметь, любезный читатель, что все это говорит Каибов историк.

Внутреннее великолепие дворца поражало всякого, кто гуда ни входил: простолюдинов ослепляло золото, жемчуг и каменья, коих было более, нежели орфографических ошибок в наших новых писателях. Знатоков привлекало искусство, блистающее во всех украшениях дворца: там разведали завесы из непроницаемого штофу, который был толще всех четырех частей Беседующею Гражданина, переплетенных вместе; там блистала резьба, отделанная с такою чистотою, что никакой бы автор не пожелал видеть лучшей чистоты на переплете своих сочинений; многие комнаты украшены были живописью, обманывающею зрение, и надобно отдать справедливость Каибу, что хотя не пушал он ученых людей во дворец, но изображения их делали не последнее украшение его стенам. Правда, стихотворцы его были бедны, но безмерная щедрость его награждала великий их недостаток: Каиб велел рисовать их в богатом платье и ставить в лучших комнатах своего дворца их изображения, ибо он искал всячески поощрять науки; и подлинно, не было в Каибовом владении ни одного стихотворца, который бы не завидовал своему портрету.

В другом месте, продолжает историк, видны были из драгоценных перьев чучелки, сделанные с таким вкусом, что сколько ни старались придворные дамы подражать им в пестроте своих одежд, но часто с досадою видели, что на прекрасных чучелок любовались более, нежели на них. В иных местах резвились на золотых цепочках забавные обезьяны, которые кривлялись с такою приятностию, что искуснейшие придворные ставили за честь у них перенимать, а нередко, по слабости человеческой, выдумки обезьян выдавали за свои, отчего между тогдашних обезьян и придворных была великая вражда, о коей историю в тридцати шести томах в лист издала тамошняя академия. Там, на великолепных пьедесталах, блистали Каибовых предков бюсты, которые высокостью работы не уступали своим высоким подлинникам.

Внутренние комнаты его убраны коврами столь редкой красоты и цены, что величайшие цари, современники Каибовы, приезжали играть на них шемелой и приказывали историографам записывать это в число величайших своих подвигов. Зеркала его хотя были

---

58 Напечатано в "Зрителе", 1792, ч. III, стр. 90-108, 257-306. По своей восточной манере эта повесть Крылова напоминает сатирические "восточные повести" Вольтера ("Белый бык", "Царевна Вавилонская"), а также "Персидские письма" Монтескье, которые пользовались условно-восточным колоритом для прикрытия резкости своей сатиры, обличавшей нравы современного общества. В описаниях Каибова государства, вельмож, отношений Каиба к ученым и писателям содержится ряд едких намеков на екатерининское царствование.

по двенадцати аршин длиною, из чистой стали, но не столько почитались редкими по своей величине, как по свойству, данному им некоторою волшебницею: зеркала сии имели дар показывать вещи в тысячу раз прекраснее, нежели они есть. Старик видел себя в них молодым красавцем, изветшала кокетка - пятнадцатилетнею девушкою, урод - пригожим, а разгильдяй - ловким. Со всем тем Каиб никогда в их не смотрелся, а держал для одних своих придворных, и то для того, чтоб забавляться, видя, как отвратительнейшие лица перед сими зеркалами спорят о своей красоте и заводят ссоры, которыми Каиб любовался. Тысячи попугаев говорили в его клетках скоропостижные вирши; многие из сих попугаев были красноречивее тогдашних академиков, хотя академия Каибова почиталась первою в свете потому, что ни в какой академии не было такого богатого набора плешивых голов, как у него, и все они бегло читали по толкам, а иногда очень четко писали к приятелям письма. Со всем тем многие уступали в красноречии попугаям, из коих многих Каиб, любя ученость, сделал членами академии только за то, что они умели выговаривать чистенько то, что выдумал другой. Что ж до изобилия, то Каибов двор превосходил оным все восточные дворы, и последний ложкомой Каибов ел вкуснее, нежели у Гомера цари. Календарь Каибова двора был составлен из одних праздников, и будни были там реже, нежели именины Касьянов.

Сераль его был наполнен первыми красавицами в свете, из коих не было ни одной старше семнадцати лет. Сколь фабрики ни стараются ныне доходить до совершенства в составлении румян, но лучшие румяны показались бы дикими в сравнении с природным румянцем последней из его султанш. Девушки его не портили своих прелестей излишними жеманствами, они не падали в обморок от пауков и тараканов, для того чтобы разметаться приятным для глаз образом. Когда находила на них задумчивость, столь обыкновенная семнадцатилетнему женскому возрасту, то не принимали они чистительного, чтобы иметь лучший цвет лица. Великолепные его конюшни наполнены были редкими лошадьми, которые были статнее наших щегольков и послушнее первых его визирей. Ледники его трещали под тяжестью вкуснейших вин. Сами боги, говорят, с удовольствием напивались в его погребах допьяна и предпочитали вина его нектару, который опостылел им с тех пор, как стихотворцы начали разливать его своим героям так же небрежно, как бабы льют коровам помой.

Весь свет, взирая на Каиба, почитал его счастливым; типографщики наживались, издавая претолстые книги о его блаженстве. Когда стихотворцы тогдашнего времени хотели описать торжества богов и райские веселия, то не иначе к тому приступали, как доставши через какого-нибудь евнуха случай втереться между музыкантов, чтобы посмотреть придворного великолепия и серальских праздников; однакож, и на то несмотря, описания их божеских пиров часто пахли гнилою соломою, на которой они сочинены. Весь свет кричал, что Каиб счастлив, и один только Каиб знал, что это неправда; но он никому этого не говорил, боясь, чтобы не сочли его неблагодарным противу благодеяний судьбы, чего он всегда остерегался. Он часто в своих стихотворцах читал описание своего счастья и смеялся пустому их воображению; или иногда завидовал, для чего не был он так же слеп, как они, чтоб видеть себя только со счастливой стороны. Как бы то ни было, а Каиб не столько был счастлив, сколько о нем кричали; в сердце его оставалась какая-то пустота, которую не могли дополнить окружающие его предметы. Придворные господчики, женщины, обезьяны, попугаи - ничто его не увеселяло: на все это с высокого своего престола смотрел он позевывая; иногда улыбался на скачки обезьян или на кривлянья придворных, но в сих улыбках видно было более сожаления, нежели удовольствия.

Весь двор примечал, что он был задумчив, но никто не мог выдумать, чем бы его позабавить; и обер-шут его двора, который был шутоватее всех италийских опер вместе, с отчаянием видел, что высочайший его владетель уже два месяца не давал ему щелчков по носу; все это заметили и заключили, что он уже не в такой большой силе у двора, как был за два месяца, когда, к досаде своих завистников, всякий день получал он пинков по

двадцати в зад, по стольку же щелчков по носу и показывал всем на боках своих знаки Каибовой к себе милости.

Но что была за причина Каибовой скуки? Вот чего никто не знал, а что всего чуднее, то это и самому ему было не известно. Он чувствовал, что ему чего-то недостает, но не мог познать, в чем этот недостаток; ему казалось, что он один во всей вселенной, или, что еще ближе, как будто был иностранец между миллионами людей, им одолженных, которые не могли его разуместь, ни помочь его скуке.

Сперва подумал он, что сему причиною любовные желания, и бросился искать счастья в серале; но самые скромные девушки показались ему кокетками, которые, желая ему угодить, искали только своей пользы; правда, всякая из них хотела, чтоб на нее брошен был султанский платок, но часто более для того, чтобы тем досадить своей сожестнице, нежели сделать его счастливым. Желание ему нравиться было смешано во всех сердцах с желанием корысти или с честолюбием; он заметил по повторению, что все приветствия, все ласки выучены были наизусть, и в месяц сераль так ему наскучил, что он перестал в него заглядывать и заключил, что не с этой стороны должен искать счастья.

Каиб вздумал потом, что скорее всего разгонит грусть свою новыми победами; повелел - и вдруг армия, многочисленнее древней, Ксерксовой, и не уступающая в храбрости грекам, умершим при Термопилах, была готова и двинулась собирать лавры. Война загорелась, - открылось поле славы для героев и для стихотворцев; сочинители мелкого разбору зачали заготовлять пирамиды од, надеясь при первом случае сбыть их за хорошую цену. Многие жены поседелых героев заранее любовались перед зеркалами, сколь пристанет к ним траур, и твердили науку упадать в обморок, чтобы пользоваться ею, когда принесут к ним весть о кончине их мужей; купцы возвысили цену на черные материи; сочинители эпитафий сделались неприступны.

Первые две победы, одержанные Каибовыми войсками, привели его в восхищение; третью новость о победе слушал он равнодушно; наконец зачал уже зевать, слушая такие новости, и решился дать свету отдых. Войска возвратились, обремененные славою и корыстями, а Каибова зевота не уменьшилась, и он не без зависти взирал, что полунагие стихотворцы его более ощущали удовольствия, описывая его изобилие, нежели он, его вкушая.

В одну ночь, удивляясь неодолимой своей скуке, ворочался Каиб на своих пышных пуховиках, и сон, как будто не смея войти в царскую спальню, заставлял храпеть в ближней комнате его служителей. Вдруг увидел он, что его любимец кот гонялся за мышью. Она всячески старалась от него увернуться. Так точно часто челобитчик желает увернуться от подарка своему судье; но напрасно заговаривает он с ним о дурной погоде и о хорошей, о старых временах и о нынешних, хотя бы заговорил он с ним о Эмпедокловых туфлях, взятокбратель и от них искусно склонит речь на то, что ему надобны деньги. То же происходило и у мыши с котом: стараясь его обманывать, металась она в разные стороны, искала спасения по всем углам... и вдруг вскочила к султану на кровать. Какая бы красавица утерпела при сем прекрасном случае, чтобы не броситься с постели стремглав, не поднять содому, не скликать весь свет, ежели можно и наконец чтобы потом не упасть раза два, три в обморок? Но Каиб был неустрашим: он не боялся мышей, пауков, тараканов и с радостью бедную мышку принял под свое покровительство; притом же начитался, ибо он любил учености и Тысячу одну ночь всю знал наизусть; он начитался, что в таких случаях делаются великие чудеса, как прекрасная Шехеразада - сей неподражаемый историк его предков - свидетельствует; а Каиб верил сказкам более, нежели Алкорану, для того что они обманывали несравненно приятнее.

Дело и подлинно кончилось чудом: менее нежели в минуту гонимая мышь превратилась в прекрасную женщину. Какой вздор! - скажет любезный мой читатель, но прошу не дивиться: в Каибов век была такая мода на чудеса, как ныне на аглинские шляпки, и тот дом, в котором не случалось в неделю по крайней мере два чуда, был так же смешон, как ныне дом, где не играют в карты.

"Каиб, - сказала ему превращенная женщина, - ты спас мне жизнь; должно, чтоб я усладила твою: благодеяние рождает благодарность. Проси от меня, чего ты хочешь, и я в минуту исполню твое желание, хотя бы оно целило на богатства всего света".

"Великодушная фея! - вскричал удивленный Каиб, - не имею я нужды в сокровищах; они столь велики, что сколь визиря меня ни обворовывают, но ущерб в них так же мало приметен, как ущерб в Эзоповой реке, которую хотели выпить жадные собаки; и я надеюсь, что мои собаки так же перелопаются прежде, нежели вылакают море моих сокровищ; из сего можешь ты заключить, нужно ль мне желать их более? Сколь ни бесценною великий наш муфтий почитает свою бороду, но если бы захотел я соблазнить честного этого старца, то бы всю ее мог скупить по волоску, нимало не расстроив своих богатств. У меня нет также недостатка в красавицах; природа меня не обидела, и мой взгляд еще не находил ни одной спорщицы в любви, - столько-то одарен я способностью нравиться! Впрочем, состояние мое столь блестяще, что спустя еще семьдесят лет не будет при моем дворе ни одной Венеры, которая бы не захотела меня иметь своим Адонисом; и хотя природа станет им противоречить, но воображение, конечно, ее победит. Может быть, пожелал бы я славы; но стихотворцы мои, хотя и спят сами на открытом воздухе, а мне настроили столько храмов славы, что если бы можно было их составить вместе на земле, то бы вышел из них город пространнее Пекина и великолепнее древнего Рима; итак, ты видишь, что мне ни в чем нет недостатка; со всем тем я зеваю, и по этому-то одному догадываюсь, что мне чего-нибудь недостает, но что это такое, того ученые из моих подданных отгадать не могут".

"Каиб, - сказала ему волшебница, - желание твое исполнится: я знаю, что нужно к твоему блаженству. Исполни, что написано на этом перстне (при сем подала она ему перстень). Завтра поутру начни свой труд; но берегись его оставить; как же скоро успех увенчает его, то не будет человека на земле, который бы мог с тобою сравняться блаженством; прости и помни, что я всегда готова к тебе на помощь; как же скоро буду я тебе нужна для какого-нибудь совету, то вот тебе целый том од одного из бесприютных строителей храмов славы; едва прочтешь ты одну строфу, как на тебя найдет беспамятство; в сие-то время буду я тебе являться и давать нужные наставления. Прости, государь!", - повторила волшебница и вмиг исчезла.

Каиб, отворотись к стене, захрапел, оставя до утра исследование дела; он даже - подивись, прекрасный и любопытный пол! - он даже не посмотрел, что написано на перстне.

На другой день нашел он на нем вырезанные сии слова: "Ступай немедля и ищи человека, который бы назывался твоим врагом, не зная, что тебя любит, и который бы тогда ж назывался твоим другом, не зная, что тебя ненавидит; тот, в котором увидишь ты сие противоречие, один может излечить тебя от твоей зевоты". - "Вот довольно огромная для перстня надпись, - скажет критик... Может ли она уместиться на перстне; это невероятность!" - очень сожалею, когда свет ныне так испортился, что не верит сказкам; впрочем, вообрази, милостивый государь мой, такой перстень, на котором бы вся эта надпись поместилась, и критика исчезнет. "Но где же взять такую руку, которой бы впору был этот перстень?" - спросят меня опять. О! кто знает Голиафа и Атланта, тот поверит, что на их перстнях можно было уписать более, нежели на надгробных досках людей нынешних веков.

"Милостивейший государь! - сказал Каибу шут, увидя сию надпись, - перстень этот есть явное на меня гонение моих неприятелей". - "Почему ты это думаешь?" - спрашивал его Каиб. - "Повелитель правоверных! - продолжал шут, - тебе советуют лечиться от скуки и не прописывают меня лекарством: не явное ли это желание унижить мой сан и силу? Как будто бы моя священная должность - смешить ваше величество - ничего не значила!" - - "Не опасайся, - отвечал калиф, - изо всех моих визирей никто так хорошо, как ты, сорокою не скачет; итак, мои милости к тебе непоколебимы". - "Еще слово, государь, - кричал шут, целуя его полу; - время, пожирающее все, может и меня лишить моих способностей

служить вашему величеству, и я потеряю свою легкость; опасаясь, чтоб враги мои тогда не восторжествовали, предпринял я заранее оставить двор". - "Пустое, пустое! - вскричал Каиб, - разве не можешь ты при моем дворе сыскать дела: выучись к тому времени ползать черепахою". Шут еще раз поцеловал полу его одежды, а Каиб, не сказав истинного происшествия своего перстня, начал в самом деле заниматься своим предприятием.

На другой день Каиб созвал свой диван, чтобы подумать обстоятельнее о своем важном предприятии. Надобно заметить, что Каиб ничего не начинал без согласия своего дивана; но как он был миролюбив, то, для избежания споров, начинал так свои речи: "Господа! я хочу того-то; кто имеет на сие возражение, тот может свободно его объявить: в сию ж минуту получит он пятьсот ударов воловьёю жилою по пятам, а после мы рассмотрим его голос". Таким удачным предисловием поддерживал он совершенное согласие между собою и советом и придавал своим мнениям такую вероятность, что разумнейшие из дивана удивлялись их премудрости. И для того-то хотя иногда терпел он визирей с крепкою головою, но не мог терпеть тех, у коих крепки были подошвы. "Такие люди, - говаривал он, - всегда думают, что они умнее других, и они для меня не годятся. Мне надобны визири, у которых бы разум, без согласия их пяток, ничего не начинал". Теперь, любезный читатель, можем мы продолжать нашу повесть.

Каиб представил, что ему нужно выехать из города тайно месяцев на восемь или более; что от этого зависит его спокойствие, а следовательно, благополучие целого государства; что в сие время не может он управлять никакими делами; что более всего нужно скрыть его путешествие от народа и, следовательно, не останавливать никаких дел; что наконец во всем этом полагается он на их рассуждение.

Диван разделился на две стороны: одни говорили из учтивости, что калиф нужен государству и что оно не может обойтись без его высокой особы так долгое время, другие говорили, из учтивости же, что он может исполнить свое предприятие и что государство ничего не потеряет, если он отлучится на несколько месяцев. Каиб дал им волю спорить и между тем занимался будущим своим путешествием. Наконец, наскуча шумом, сказал: "Господа! я так хочу". Визири первого мнения, вспомня, что у них есть пятки, согласились с визириями последнего мнения. Путешествие было определено.

"Друзья мои! - сказал калиф, - я признателен к вашей сговорчивости; и хотя ни у какого калифа люди за слово как не получают столь большого жалованья, как у меня; хотя никакой султан не содержит такого числа полезных государству людей, при важной должности выговаривать чисто гак; но вы столь усердно исполняете свое почтенное звание, что я охотнее издерживаю деньги на вас, нежели на лучших арабских лошадей и китайских кукол. Из сего вы можете заключить, как приятно мне всегда видеть у двора своего разумных людей, коих премудрые советы полезны государству столько же, сколько скотные дворы полезны хлебопашеству".

Чувствительные визири были тронуты до слез такою похвалою, а Каиб, улыбаясь, продолжал: "Итак, когда вы согласны, то ничто уже не остановит моего путешествия; но мне еще нужен благоразумный ваш совет: я уже сказал, что отъезд мой должно скрыть от народа и что нужно не оставлять государственных дел; а к сему-то я еще никаких способов не выдумал; и если б не надеялся на ваше остроумие, то бы отчаялся согласить эти две вещи. Итак, любезные визири, присоветуйте мне, кто из вас как думает? Тому же, кто лучшее подаст мнение в сих важных обстоятельствах, обещаю я подарить полное собрание арабских сказок в богатом сафьянном переплете и перевод Конфуция, писанный в лист, на такой твердой бумаге, из которой можно сделать прекрасные летучие змеи". Визири все видали перевод Конфуция, были охотники спускать змеи и не менее любили арабские сказки. Богатое обещание щедрого Каиба воспламенило их воображение, и они все пошли на голоса.

Первый был Дурсан, человек больших достоинств: главное из них было то, что борода его доставала до колен и важностию походила на бунчук. Калиф сам хотя не имел большой бороды, но он знал, что такие осанистые бороды придают важность дивану, и потому-то

возвышал Дурсана по мере, как вырастала его борода; а когда наконец достала она до пояса, тогда допустил он его в свой диван. Дурсан, с своей стороны, не был беспечен: видя, что судьба назначила его служить отечеству бороною, ходил он за нею более, нежели садовник за огурцами, и до последнего волоска держал на счету. Впрочем, делал он много важных услуг отечеству: когда бывал при дворе праздник, тогда наряжался он пышнее всех женщин; и когда у калифа случалась бессонница, тогда сказывал он ему сказки. Сей-то знаменитый муж начал таким образом:

"Великий обладатель океана, самовластный повелитель известных и неизвестных земель и законный наследник всех монархий, какие только будут открыты! Для такой мелкой словесной твари, как я, велико уже и то снисхождение, что ты попускаешь ей думать; но с чем могу сравнить мое блаженство, когда ты, великий монарх, позволяешь мне объяснить пред тобою мысли мои и, что еще более, требуешь моего совета! Но солнце может ли от земли заимствовать свет? Нет, великий обладатель правоверных! Подобно я не рожден ни думать, ни говорить пред тобою, ниже знать, что ты думаешь! Голова твоя так же непостижима, как священный наш коран; а голова моя пред тобою то же, что подушка, на которой я сижу; оба мы счастливы твоею щедростию, и лизать прах ног твоих есть священнойшая и важнейшая моя должность, коею наградил ты слабые мои способности. Велико уже и то мое счастье, когда употребляешь ты меня вместо морской трубы, чтобы объявлять мною рабам свои повеления".

"Это все правда, любезный Дурсан, - отвечал калиф, - я радуюсь, видя, что ты помнишь свои права... Но иногда философ видит перед собою пылинку, которую пренебрегает; потом, всматриваясь, познает, что пылинка эта двигается; наконец, разбирая далее, узнает в ней тварь чувствующую и находит, что сколь ни мало сие насекомое, но оно может приносить ему пользу. Мы, калифы, обязаны вам, людям, такою же справедливостию. Часто, смотря на вас, пресмыкающихся, сомневаемся мы, можете ли вы думать; но, рассматривая далее, находим, что и вы иногда удобны рассуждать; и хотя неоспоримо, что мозг ваш не может быть такой же доброты, как мозг потомков великого Магомета, избираемых управлять вселенною, со всем тем и ваши рассуждения можно иногда употреблять с пользою: и они бывают довольно изрядны, а особливо в сравнении с рассуждениями черни, так что, под нашим смотрением, действительно можно позволять вам мыслить. Итак, любезные визири, скажите мне ваши мнения. Не опасайтесь, если и глупо вздумаете: я знаю, что вы люди; природа не создала вас калифами". После такой скромной речи Каиб обратился к Дурсану, чтобы его дослушать.

"Когда обладатель земли повелевает мне объявить мои мнения, - говорил Дурсан, - то, волю его ставя своим законом, скажу устами, что чувствую сердцем. Итак, государь, нет больших препятств ни скрыть путешествия твоего от народа, ни продолжать государственных дел. Для первого нужно немедленно выдать повеление, чтобы подданные твои падали ниц на землю, когда мимо их будешь проезжать, и, под опасением смертной казни, страшились бы на тебя взирать. Если повелитель правоверных дозволит, то я беру на себя сочинить сие повеление, в котором докажу ясно, как непростительно дерзновение знать в лицо обладателя подлунного света и сколь велико оскорбление священной его особы, если черты ее впечатлеваются на грязном мозгу простолюдима; сколь, напротив того, спасительно валяться на земле, уткнувшись носом в грязь, когда проезжает мимо великий повелитель морей и суши. Потом, государь, дабы приучить к сему твоих подданных, можешь ты сделать несколько выездов по городу, и стоит только повесить первую дюжину любопытных, чтобы достальному числу верных рабов твоих отбить охоту подымать взоры до священного чела твоего. После сего можешь ты спокойно ехать, мы же, одевши пышно куклу, будем привязывать ее к твоей верховой лошади и возить всякий день по городу, возвещая народу, что это ты сам... Все упадут ниц; и тот будет великий чародей, кто затылком узнает разницу между куклою и твоею священою особою. Сие можем мы продолжать до твоего возвращения. Если же к кукле сей приделать такие величественные усы, какими ты удивляешь вселенную и превосходишь всех монархов, то

тайна будет еще непостижимее. Что ж до правления дел, то можешь ты, до возвращения своего, поручить их тому, кому более всего доверяешь; и не излишнее бы было, если б выбор твой, в таком важном случае, пал на человека достойного, с почтенною бородою, коея длина была бы мерою его глубокомыслия и опытности. Ибо, великий государь, непокорнейшие сердца смотрят на длинную бороду как на хороший аттестат, данный природою. Такой человек пусть именем твоим производит дела и дает повеления, коих вся добрая слава упадет на тебя, и никто из народа не приметит твоего отсутствия". После сего Дурсан замолчал и начал разглаживать длинную свою бороду.

"У тебя довольно пылкое воображение, - сказал калиф, - и если б я был более горд, то бы употребил твои советы; но, любезный Дурсан, мне не нравится, чтобы мои народы валялись по грязи во время моих выездов. Мне приятнее, когда подданные мои продираются друг сквозь друга меня смотреть и после спорят, из какого вещества я создан; мне очень мило слышать, как одни говорят, что я весь вылит из серебра, другие, что я скован из золота; что я за тысячу миль вижу блоху так же свободно, как будто бы сидела она у меня на носу, и что я один в день столько же могу съесть, сколько целая армия в неделю, не опасаясь нималого отягощения в желудке. Такие прекрасные рассуждения и заключения меня забавляют, и мне жаль отнять у народа свободу меня смотреть, когда он с таким успехом в меня вглядывается и смешит меня иногда до слез своими догадками. Нет, нет, выдумайте другое средство; а это столь сурово, что я по любви своей к моим мусульманам никогда его не употреблю".

Тогда Ослашид, первый по Дурсане, разгладил на обе стороны свои усы, растворил рот и начал... Но любезный читатель, позволь мне познакомить тебя и с этим визирем. Речь сильнее действует, если оратор нам известен.

Ослашид еще за триста лет до своего рождения предназначен был играть не последнее лицо в диване, ибо он был из потомков Магомета, и белая чалма, которую надели на него при рождении, давала ему право на большие степени и почести. Правда, что голова его не знает, как она попала в белую чалму, дающую право на такие выгоды, а душа его не знает, как она попала в голову, имеющую право на белую чалму; но Ослашид был верный мусульманин: он, не исследывая своих прав, старался только ими пользоваться и сохранял теплую веру, что судьба имела свои расчеты надеть на него белую чалму и произвести на свет обладателем великих сокровищ. Не вмешиваясь в виды ее, он ставил правилом проживать свои сокровища, как истинный мусульманин. Ослашид имел у себя прекрасный сераль, множество евнухов, еще более невольников-христиан, которых прилежно секал за то, что они не принимают его закона и не могут понять того, чего он сам никогда не понимал. Он дивился, как люди могут не верить, что в обыкновенный рукав можно запрятать луну, которая в диаметре имеет не более четырехсот семидесяти трех немецких миль, и говорил, что для верного мусульманина очень легко вообразить, как в одну ночь лезя проехать более, нежели сколько пушечное ядро может со всею своею скоростью пролететь в пятьсот тысяч лет и иметь еще довольно досугу понаделать на всё исторические замечания. Словом, Ослашид верил всему с удивительною способностью, и это было первое его достоинство у двора, которое заставляло в нем терпеть множество других недостатков. Сей-то достойный визирь начал так свою речь:

"Истинный потомок великого пророка, блистательный калиф, снисходящий по прямой линии от просветителя вселенной, Магомета, ибо я несомненно верю, что, начиная от его жен, жены всех предков твоих были столь же верны, каковыми обещаются нам райские гурии и что твое родословное дерево не покривлено ни одною женою твоих предшественников; и потому-то право твое повелевать нами столь же священно, как право самого Магомета, для рабства коему создан весь мир. Повелитель правоверных, имеющий власть связывать и разрешать руки и мысли, власть неоспоримую, которая, с помощью благословения пророка, поддерживается пятьюстами тысячами вооруженных мусульман, почитающих счастьем перерезать горло тому, кто вздумает отымать у тебя право их перевешать; обладатель самовластный великого быка, на рогах которого взоткнуты твои

просторные владения, - великий калиф! удостоить выслушать мнения последнего из твоих рабов! Сколь ни премудр совет Дурсана, но, мне кажется, нет нужды заводить таких больших обрядов с народом, а особенно, когда человеколюбие твое признает их суровыми. Всего лучше, великий калиф, выехать тебе в путь сколь можно великолепно: но при самом выезде за ворота объявить своим подданным, что ты, любя свою столицу, никуда не намерен от нее отлучаться. И тогда, хотя весь город будет видеть, что ты удаляешься, но рабы твои, конечно, поверят тебе более, нежели своим глазам, и будут твердо уверены, что ты здесь, тогда как будешь ты осчастливливать своим присутствием другую половину земного шара. Притом же, отъезжая, можешь им сказать, что ты всякую неделю один раз будешь проезжаться по городу, и назначить день, в который после мы можем водить по улицам под уздцы верховую твою лошадь. Хотя тебя на ней не будет, но рабы твои согласятся скорее поверить, что они все вдруг ослепли, нежели подумать, что ты не сам, высочайшею своею особою, сидишь на лошади, которую почтут они счастливейшею из всех чувствующих тварей, для того что она носит на себе величайшего в свете калифа. Что же до дел, то также можешь ты сказать, что все дела, которые решатся в такое-то время, будут непосредственно рассматриваемы и решены тобою. Словом, можешь ты заключить, что всякий тот преступник, кто в сие время осмелится, поверя пяти своим чувствам, усумниться в твоих словах. Такая речь, величайший калиф, произведет чудеса, и выезд твой для всего государства останется тайною".

"Способ, изрядно выдуманный, - отвечал калиф, - но он хорош для моих только мусульман, а над иностранцами, не думаю, чтоб произвел подобное действие, и что еще досаднее, могут разгласить, что я калиф над слепыми народами, а это мало принесет мне чести. Нет, друзья мои, я хочу, чтобы подданные мои верили иногда своим глазам, или мне должно со временем терпеть величайший труд сказывать всякому, что он видит и что чувствует. Выдумайте какое-нибудь другое средство: я столько люблю моих подданных, что мне жаль сделать вдруг бесполезными несколько миллионов глаз. Итак, любезный Дурсан и почтенный Ослашид, вы не получите от меня арабских сказок в сафьянном переплете и не будете иметь удовольствие спускать змеев из Конфуциева перевода. Посмотрим, любезный Грабилей, будет ли счастливее твоя выдумка".

Грабилей не имел ни долгой бороды, ни счастья родиться в белой чалме; он был сын чеботаря, который в свое время обувал со вкусом целый город. Грабилей, прискуча видеть с младенчества трудную работу отца, задумал блистать в свете совсем иною славою и искал способов, как бы со временем разувать тот народ, который отец его обувал с таким успехом. Для сего-то вступил он в приказную службу. Грабилей был умен; он тотчас понял систему своего знания и начал драть с одних, дабы передавать другим. С таким прекрасным правилом недолго засиделся в нижних званиях и тотчас сделан кадием. На сем-то месте почел он нужным развернуть все свои способности и пользоваться всею ловкостью, кою природа его одарила. Он тотчас понял трудную науку обнимать ласково того, кого хотел удавить; плакать о тех несчастиях, коим сам был причиною; умел кстати злословить тех, коих никогда не видал; приписывать тому добродетели, в ком видел одни пороки. Знал, когда нужно кланяться в землю и когда в пояс, умел кстати зажмуриваться на своей судейской подушке; но что всего важнее, знал кстати обирать и кстати одаривать. С такими-то блестящими дарованиями пролагал он себе путь к дивану и недолго медлил на сем пути. Калиф уважал способности... Грабилей стал одним из числа знаменитейших людей, снабженных способами утеснять бедных и освященных важным преимуществом получать удавку из рук самого султана. Грабилей так начал речь свою:

"Законный наследник всех имений, неоспоримый владетель сердец и помышлений, повелитель стихий и причина всех бывших и впредь будущих благ человеческого рода! Прости, что я осмеливаюсь шевелить языком моим в присутствии священной твоей особы. Я бы никогда не дерзал при тебе и мыслить, если б не было сие во исполнение верховной твоей воли, которая управляет всеми моими чувствами и делами, подобно как солнечное движение управляет движением тени. Мне кажется, самый лучший способ для удержания

в тайне путешествия есть тот, чтоб сделать запрещение говорить, каким бы то образом ни было, о твоей высокой особе и даже выговаривать священное твое имя, под опасением лишения живота и имений. Издав такое повеление, можешь ты спокойно отправиться в свой путь; и хотя некоторое число рабов твоих будет догадываться, что тебя здесь нет, но, в силу запрещения говорить о тебе, они не возмогут никому сообщить своих догадок, ниже простирать вопросами свое любопытство далее. Известно, что молчание есть единственный способ хранения тайностей; так не самое ли лучшее средство - наложить его на языки болтливых рассказчиков и выпрашивателей, которых двумя или тремя примерными наказаниями можно уверить, что язык им дан только для того, чтобы с помощью его было легче глотать пищу".

Калиф не был доволен и сим мнением: он сам, любя говорить, знал, как тяжело честному человеку хотя на два часа лишиться этого прекрасного упражнения; притом же, хотя и мог он надеяться унять мужчин, но где, думал он, взять столько силы, чтобы унять говорить женщин? Калиф был премудр: он знал, что выдать закон на удержание говорливости женщин есть то же, что выдать закон для удержания прилива и отлива морского. Он требовал также совета у достальных визирей, наполняющих диван, но их не слушал, не ожидая от них ничего доброго. Калиф был расчетист: обыкновенно одного мудреца сажал между десяти дураков; умных людей сравнивал он со свечами, которых умеренное число производит приятный свет, а слишком большое может причинить пожар; и часто говаривал, что ему, для сохранения доброго порядка, дураки по крайней мере столько ж нужны, как и умные люди. Вот причина, что и диван калифов был ими изобилен.

Все они пошли на голоса: приметить должно, что они охотнее всего расточали свои советы, хотя часто могли видеть, что оные ни на что не надобны; но чем глупее голова, тем щедрее на советы. Наконец калиф вышел из дивана, распустя своих визирей; не быв доволен ни одним голосом, удалился во внутренние свои чертоги и надеялся в уединении найти то, чего не мог сыскать в многолюдстве.

Первый предмет, встретившийся его глазам у него в комнате, была книга, данная ему волшебницею. Хотя Каиб никогда не советовался с книгами, потому что они по большей части писаны не калифами, но, вспомня, что этой книге приписано важное свойство - усыплять, взял он ее в руки, в надежде увидеть во сне добрую свою покровительницу. Калиф развернул - видит оду визирю, недавно повешенному им за взятки... Добродетели его были воспеты с таким восторгом, что калиф зачал уже опасаться, не святого ли он повесил. Это привлекло его к важному рассуждению; сколь должно великому калифу быть осторожну в награждениях и в наказаниях... "Фея, - ворчал он тихонько, - фея, конечно, ошибкою дала мне эту книгу: она обещала мне с нею приятный сон, а книга эта, напротив того, подает мне причину к важным рассуждениям, приличным моему сану и полезным моему народу..." Но калиф не примечал, что он уже дремал, выговаривая последние слова... и действительно, в одну минуту погрузился он в глубокий сон и позабыл награждения, наказания, повешенного визиря, стихотворца и свою книгу, которую из рук выпустил к себе на колени.

Едва заснул калиф, едва увесистое собрание тяжелых стихов, обременявших за минуту руки его, сползло с коленей на богатый ковер, как покровительствующая фея явилась ему во сне; она была прелестна, как... как то, что тебе всего милее, любезный читатель... Скупой, ты можешь ее сравнить с твоим рублем; если ты автор, то вообрази, что она была так прекрасна, как твои стихи; или вообрази, что она прекрасна, как твоя любовница, - если ты читаешь это накануне своей свадьбы; если же на другой день, то признаюсь, что сравнение мое никуда не годится.

"Каиб, - сказала она калифу, - я выдумала способ сокрыть путешествие твое от народа и от самых визирей твоих; проснувшись, ступай из дворца твоего, не говоря никому ни слова. Я приготовила куклу и дала ей такие способности, что она, до возвращения твоего, заменит с успехом твое место: так некогда Аполлон на Троянской брани подменил Энея подделанною под его вид статуею; и между тем как Эней отдыхал дома, то статуя храбро

сражалась с греками; хотя Гомер ничего не говорит, но я знаю точно, что тогда многие славные дела ее приписаны самому Энею, чему он по сговорчивости своей никогда не противоречил. То же точно намерена я с тобою сделать. Иди и старайся только исполнить волю оракула, достальное я беру на себя. Поверь: ни одна душа не узнает, как изрядно подмену я тебя статуею из слоновой кости, которая в твое отсутствие наделает много славных дел; все они умножат в народе к тебе благодарность. Прости, калиф, ступай немедля, сложи с себя на время всю пышность, приличную твоему сану, и ты увидишь то, чего бы никогда не видал ни в какую зрительную трубку с высокого твоего престола, а наконец найдешь награждение, обещанное тебе оракулом". Фея исчезла.

Как бедный стихотворец, увидя во сне, что сочинения его вдруг разошлись четырьмя тиснениями и что он осыпан золотом, просыпается и хотя не видит вокруг себя ничего, кроме огромных своих рукописей и разломанных стульев и стола, но, полагаясь на сновидение, наполняется надеждою, засвечает свечу и, не сходя с постели, гоняется за Пегасом по белой бумаге, которую покрывает следами своей скорости, так Каиб, просыпаясь, утешается, что во сне он выдумал более, нежели наяву, и, надеясь на обещание волшебницы, скидает пышные свои одежды, одевается так скромно, как сторож академической библиотеки, берет несколько мелких денег... Сколь ни верил он волшебствам, но знал очень, что есть много таких случаев, где и самое сильное чародейство наличных денег заменить не может; потом оставляет великолепный свой дворец и начинает поиск, предписанный ему оракулом.

Это было ночью; погода была довольно худа; дождь лил столь сильно, что, казалось, грозил смыть до основания все дома; молния, как будто на смех, блистая изредка, показывала только великому калифу, что он был по колено в грязи и отовсюду окружен лужами, как Англия океаном; гром оглушал его своими порывистыми ударами. Тогда-то калиф в первый раз усумнился, столь ли самовластный он повелитель стихий, как то говаривали ему визири. Желая укрыться от негодной погоды, искал он при свете молнии какой-нибудь хижины; скоро, проходя далее, увидел в стороне огонь и пошел прямо на него, надеясь у хозяина выпросить позволения осушить платье.

Калиф подходит к хижине, отворяет дверь, видит большую комнату; в одном углу стоит кровать, в другом стул, который, опираясь о стену щитом, стоял довольно гордо на остальных двух ножках; на полу набросано несколько старых книг и порядочный запас белой бумаги; не мудрено калифу догадаться, что тут живет автор. Он всегда любопытствовал побеседовать с людьми этого рода; хотя прежде сияние его сана не позволяло унижать ему себя до такой степени, но теперь не мог он не радоваться, нашед к тому удобный случай... Я было позабыл, описывая комнату, упомянуть о самом важном приборе: на кровати лежала сухошавая особа; с великою важностию рассматривала она старые рукописи и, казалось, с обгрызненным половиною пером в руке, определяла судьбу целого света.

"Милостивый государь, - начал Каиб, - я лишь пришел в сей город и никого в нем не знаю, позвольте ли вы страннику пользоваться гостеприимством?" - "Очень рад дорогому гостю; и если, не обижая вас, можно сделать заключение по скромному вашему платью, то позвольте спросить, не ученый ли вы?" - "Да, это правда, что я читаю книги".

"Читаете?.. По вашему разодранному кафтану я подумал, что вы их пишете. Но тем лучше: я написал теперь оду Ослашиду и хотел бы знать ваше мнение". - "А! вы пишете оды?" - "Да, это самое безопасное ремесло, но не всегда прибыльное. Недавно написал я оду одному вельможе; он восхищался ею и обещал мне щедро заплатить; но, как знатный человек, позабыв данное слово, умер на другой день. После этого я написал оду другому визирию; этот был не менее доволен, обещал меня наградить и, верно бы, не обманул, но его на третий день повесили за взятки". - "Как! вы писали оду недавно повешенному визирию? Я ее читал..."

"Признайтесь, что она недурна. Теперь я пишу оду Ослашиду, неприятелю повешенного визирия. Можно сказать, что она мне труда стоит: в этом добром человеке нет ни ума, ни

добродетели; такие люди ужасно трудные содержания для лирической поэзии. Я же, не хвастаясь, скажу, что я более пишу для славы, нежели для денег; доказательство - мне хуже платят за оды, нежели за битые стекла, которые иногда покупают у меня разносчики. Со всем тем я не оставлю лирического стихотворства".

"Мне удивительна способность ваша хвалить тех, в коих, по вашему ж признанию, весьма мало находите вы причин к похвалам". - "О, это ничего; поверьте, что это безделица: мы даем нашему воображению волю в похвалах с тем только условием, чтоб после всякое имя вставить можно было: ода - как шелковый чулок, который всякий старается растягивать на свою ногу. Она имеет здесь совсем другое преимущество, нежели сатира. Если я хочу на кого из визирей писать сатиру, то должен обыкновенно трафить на порок, коему он более подвержен, но и тут принужден часто входить в самые мелкости, чтобы он себя узнал; что до оды, то там совсем другой порядок: можно набрать сколько угодно похвал, поднести кому угодно; и нет визиря, который бы описания всех возможных достоинств не принял сколком с своей высокой особы".

"Но если свет знает, что ваше описание ложно? Что герои ваши - пустые пузыри, надутые вами?" - "Что же до того нужды? Аристотель негде очень премудро говорит, что действия и героев должно описывать не такими, каковы они есть, но каковы быть должны, - и мы подражаем сему благоразумному правилу в наших одах, иначе бы здесь оды превратились в пасквили; итак, вы видите, сколь нужно читать правила древних".

"Я всегда думал, что стихотворцы приступают к одам, воспаленные добродетелями и совершенствами своих героев". - "Как вы ошибались: они воспаляются одним воображением и выбирают первого, кто попадет, как художник выбирает кусок мрамору; чем грубее и несовершеннее отломок, тем более славы и искусства дать ему нежный вид". - "Ах! - сказал, вздохнувши, калиф, - как же мало люди должны гордиться такими похвалами, которые нередко их ослепляют!"

"Вольно им дурачиться, - отвечал стихотворец, - если бы они приписывали похвалы не своим достоинствам, но случаю и нашей необходимости кого-нибудь ими украшать, то бы не столь были горды. Не хотите ли, я вам скажу на этот случай короткую басню, которую скоро намерен переложить в стихи.

Славный живописец, пленясь новою мыслью, вздумал написать Венеру, натянул кусок полотна и с великим успехом исполнил свое намерение; картина была драгоценна и со временем стала украшением чертогов славнейшего императора. Множество зрителей стекалось ее смотреть. Полотно, на коем была написана Венера, вздумало, что оно причиною всех восторгов, замечаемых в зрителях. Паук, раскидывая на нем сети для мух, вывел его из заблуждения. "Ты напрасно гордишься, полотно, - сказал он, - если б не вздумалось славному художнику покрыть тебя блестящими красками, то бы ты давно истлело, быв употреблено на отирку посуды".

Стихотворцы то же делают с людьми, и последние такую же имеют причину гордиться, как рисованная холстина, которая думала, что живописец старался прославить ее, когда заботился он только о своем имени. Когда я читаю Гомера, то, признаюсь, вместо того, чтобы удивляться его героям, я удивляюсь ему, а на них смотрю, как на людей, которых великий этот муж сделал вьючными ослами своей славы; итак, не ясно ли видно... но вы дремлете, вам нужен покой! Не хотите ли чего поужинать?"

"Охотно бы; признаюсь, что я очень проголодался". - "Жаль же очень, что вы не пришли ко мне ранее только пятью минутами: мы бы прекрасно отужинали. По крайней мере на чем вы охотнее спите: на тюфяках или на пуховике?" - "На пуховиках", - сказал, вздохнувши, калиф.

"Ложитесь же на эти кипы печатных бумаг, - отвечал стихотворец, указывая в угол, - ложитесь на них; если они и не так мягки, как пуховики, по крайней мере толще всякого пуховика на свете. Мои друзья ночуют у меня на них спокойнее, нежели калиф наш на лучших своих пуховиках".

Каиб лег, положил в голову стопу бумаги и в минуту захрапел так крепко, что соблазнил стихотворца себе последовать.

На другой день рано Каиб собрался в путь.

"Вы, конечно, хотите странствовать?" - спрашивал его стихотворец.

"Это правда. И хотя нет двух дней, как я начал свое путешествие, но мне столь это понравилось, что, может быть, несколько лет употреблю я на то, чтобы видеть вещи, которые, сидя дома, видел я через десятые глаза".

"Вы ничего нового не увидите: где есть люди, там всегда найдете добродетели и пороки; где есть деньги, там найдете роскошь и скупость, богатство и нищету; в городах увидите равнодушие к несчастью ближнего, в деревнях сострадание и гостеприимство, ибо сельский житель, подражая природе, учится у нее быть податливым, а городской житель, гоняясь за счастьем, учится у него быть слепым и несправедливым". После сего они расстались, и Каиб продолжал свой путь.

Он пустился по большой дороге, желая с нетерпеливостью посмотреть сельских жителей. Давно уже, читая идиллии и эклоги, желал он полюбоваться золотым веком, царствующим в деревнях; давно желал быть свидетелем нежности пастушков и пастушек. Любя своих поселян, всегда с восхищением читал в идиллиях, какую блаженную ведут они жизнь, и часто говаривал: "Если б я не был калифом, то бы хотел быть пастушком".

Уже далеко был он от своей столицы, как в один день увидел рассеянное по полю стадо. "Великий Магомет! - вскричал он, - я нашел то, чего давно искал!" - и сошел с дороги в поле искать счастливого смертного, который наслаждается при своем стаде золотым веком. Калиф искал ручейка, зная, что пастушку так же мил чистый источник, как волоките счастья передние знатных; и действительно, прошед несколько далее, увидел он на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заметанное грязью. Калиф было усумнился, человек ли это; но, по босым ногам и по бороде, скоро в том уверился. Вид его был столько же глуп, сколь прибор его беден,

"Скажи, мой друг, - спрашивал его калиф, - где здесь счастливый пастух этого стада?" - "Это я", - отвечало творение и в то же время размачивало в ручейке черствую корку хлеба, чтобы легче было ее разжевать. "Ты пастух! - вскричал с удивлением Каиб. - О! ты должен прекрасно играть на свирели". - "Может быть; но, голодный, не охотник я до песен". - "По крайней мере у тебя есть пастушка; любовь утешает вас в вашем бедном состоянии. Но я дивлюсь, для чего пастушка твоя не с тобою?" - "Она поехала в город с возом дров и с последнею курицею, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою от холодных утренников". - "Но поэтому жизнь ваша очень не завидна?" - "О! кто охотник умирать с голоду и мерзнуть от стужи, тот может лопнуть от зависти, глядя на нас". - "Признаюсь, что я много верил эклогам и идиллиям, - сказал калиф. - Фея! слова твои сбываются: я вижу то, чего бы никогда не подозревал. Стихотворец сказал правду, что поэты обходятся с людьми, как живописцы с холстиною. Но такую гадкую холстину, - продолжал он, смотря на пастуха, - такую негодную холстину разрисовать так пышно: это, право, безбожно. О! теперь-то даю я сам себе слово, что никогда по описанию моих стихотворцев не стану судить о счастье моих любезных мусульман". И калиф пошел далее.

Некогда под вечер шел он по большой дороге, и хотя уже начинало смеркаться, но никакого города не видно было вдаль. Это его смущало. "Волшебница шутит надо мною, - говорил он сам себе, - она, кажется, хочет, чтоб я, подобно календеру, состарился на больших дорогах. Вот уже более трех месяцев странствую я, но и тени нет счастья, обещанного мне феею, а что еще досаднее, то сегодня едва ль не в поле должен я ночевать; я верю, конечно, что пророк любит своего потомка; но сказать правду: медведю из лесу до меня ближе, нежели Магомету с седьмого неба". Такие мысли возмущали Каиба: владетель морей и суши не на шутку боялся быть заеден голодным волком.

В самое то время занимался он такими заманчивыми рассуждениями, встретился ему крестьянин. "Друг мой, далеко ли до города?" - спросил у него калиф. "Часов восемь; к утру можешь ты там быть". - "Но нет ли где переночевать, не попадет ли мне на пути

деревня?" - "Ни двора; а если хочешь, то, пройдя немного, можешь свернуть по тропинке вправо и лесом, через старое кладбище, пройти до деревеньки, где можешь найти ночлег".

Прошед немного, и действительно Каиб увидел вправо тропинку, проложенную в лес; он пошел по ней и в четверть часа выбрался на маленькую площадку, украшенную развалившимися гробницами. Каибу некогда было любопытствовать: страх и приближающаяся ночь понуждали его идти далее; как вдруг, пройдя площадку, увидел он, что тропинка разделилась надвое. "Боже мой! - вскричал Каиб, - по которой должен я идти? Ну, если я выберу самую трудную и долгую, тогда всего вернее, что мне должно будет спать на земле, без всякого защищения от зверей; но если я ворочусь - а до города еще восемь часов!., это ужасно! Нет, - продолжал он, окидывая глазами кладбище, - нет, я лучше соглашусь как-нибудь провести ночь здесь", - и тогда ж, увидя высокий надгробный камень, решил он выбрать его своим ночлегом. Каиб подошел ближе к камню и увидел на нем высеченные сии слова:

"Кто бы ты ни был, не приближайся; взирай с благоговением на камень, под коим покоится прах мой, и познай, что я... (имя так изгладилось временем, что Каиб никак не мог разобрать)... победитель вселенной, коего имя гремит и вечно будет греметь во всех концах земли: оружием моим покорил я множество народов, одержал 729 побед и не имел сражения, на коем бы побито было менее 15 000 неприятелей. Свет сей оставляю в законное наследство сыну моему и его потомкам. Умираю доволен, что основал племени моему твердое и непоколебимое наследие, сокровища неисчерпаемые, славу бессмертную, и страх имени моего столь великий, что не будет смертного, который бы осмелился коснуться до моего надгробного камня".

"Какая прекрасная надпись! - сказал Каиб и вскарабкался с великим трудом на камень. - Здесь точно безопасно, - ворчал он тихонько, - камень этот и высок и неприступен для зверей... только желал бы я очень знать, чья это гробница. Это ужасно, что такие славные имена стираются с надгробных камней! Как же после этого можно полагаться на историю, ибо я твердо верю, что тысячи славных людей, понадевавших столько же знаменитых дел, как и нынешний мой хозяин, не внесены в историю только для того, что надгробные их камни были рыхлы и удобно размывались дождем. Какой это для меня прекрасный урок! О! я, конечно, выберу для моего надгробия камень потверже и ручаюсь, что слава моя будет продолжительнее славы моего хозяина". Потом вынул Каиб из кармана хлеб и кусок сыру; в минуту отправил он по-походному ужин. "Как мало нужно для человека! - сказал калиф, - на день два фунта хлеба и три аршина земли на постелю при жизни и по смерти. Я бы желал знать, отчего, за четыре месяца перед сим, вся вселенная казалась для меня тесна, а теперь и камень этот для меня очень просторен? И слово "мое!", на которое право стоило мне, может быть, триста тысяч добрых мусульман, - слово это теперь меня не восхищает! О гордость, сколь ужасно тебе воздаяние! при жизни тебя ненавидят, по смерти презирают или забывают. Ах! может быть, и я со временем буду служить постелею какому-нибудь страннику, который, не посмотрев на гордую мою надгробную надпись, спокойно выпитися на том, на кого предки его не смели взглянуть без ужаса".

Каиб заснул. Вдруг видит он, что камень отодвигается и из-под него выходит величественная тень некоего древнего героя.

Рост его возвышался дотолу, доколь в тихое летнее время может возвышаться тонкий дым. Каков цвет облак, окружающих луну, таково было бледно лицо его. Глаза его были подобны солнцу, когда при закате своем опускается оно в густые туманы и, изменяясь, покрывается кровавым цветом. Главу его покрывал огромный шлем, который, казалось, мог противустоять громовым ударам. Руку его обременял щит, испускающий тусклый свет, подобный тому, какой издает ночью зыблющаяся вода, отражая мертвые лучи бледных звезд. Калиф тотчас догадался, что герой его из числа тех знаменитых особ, которые называются победителями народов и на земном шаре с великим успехом заменяют собою всемирный потоп. Он молчал и ожидал, что будет далее.

"Каиб, - сказало ему видение, - ты зришь пред собою тень того, коего прах покоится под сим камнем. Надпись о делах моих, высеченная на камне, справедлива: я победил весь свет; ничто не смело вооружаться против меня, кроме моей совести, которая одна могла мучить того, кто мучил вселенную. По смерти моей небо истребило память мою в людях, а меня осудило мучиться дотоль, доколь не буду я причиною хотя одного доброго дела. Двадцать тысяч лет уже гробница моя стоит здесь, и во все это время не был я причиною ни одного доброго дела. Доколе память моя еще не затмилась, дотоль возбуждал я себе последователей, столько же вредных свету, как был вреден ему я сам; память моя погибла; но мои последователи имели также своих подражателей, и всем бедствиям, угнетавшим после того землю, был причиною я, дав первый пример любочестия. Наконец небо избрало тебя быть моим избавителем: ты, делая последнее унижение моей гордости, надгробие мое сделал своим ночлегом. Высокий камень мой спас тебя от хищных зверей, коим бы ты был непременно добычею в сем диком лесу - и вот первая польза, которая в двадцать тысяч лет от меня произошла.

Гробница моя и надпись на ней внушили тебе благоразумные размышления; сердце твое удобно ими пользоваться; а сии размышления в толь великом калифе, каков ты, будут причиною счастья миллионов людей, - вот благо, происшедшее также от меня. Судьба исполнила меру своего правосудия, в сей день кончились мои мучения. Небо, разрешая меня, позволило, чтоб я принес тебе благодарность; позволило оно, чтобы я тебе подтвердил истину надписи, запрета только сказывать свое имя, осужденное к вечному забвению на лице земли; позволило оно также сказать тебе, что ты близок от вещи, для которой путешествуешь; счастье тебя ожидает. Но, калиф, да не развратит нега его твое сердце - не забывай никогда того, что ты видел теперь. Помни, что любочестие наказывается чрезмерным унижением; помни, что право твоей власти состоит только в том, чтобы делать людей счастливыми, - сие право дают тебе небеса; право же удручать несчастьями похищаешь ты у ада". Изрекши сие, изменяться стала тень и исчезать, подобно тускнеет серебристое облако, когда луна от него удаляется и, развеваемое по лазуревому небу, становится невидимо взорам смертных.

Наутро калиф проснулся рано и, дивясь странному сновидению своему, продолжал свой путь по одной из двух тропинок. Три часа шел он дремучим лесом и наконец вышел на прекрасный луг, через который лежала дорога к маленькой хижине. Каиб любовался местоположением и, осматривая окрестности, удивлялся природе, как вдруг, оборотись направо, увидел прекрасную четырнадцатилетнюю девушку. Она с великою прилежностью искала чего-то в траве; прекрасные глаза ее орошены были слезами - знак, сколь дорого она ценила потерянную вещь. Каиб подошел к ней; она его не примечала; он не спускал с нее глаз: всякая черта, всякое движение, всякий шаг ее воспламеняли в нем кровь. Каиб обладал многими женщинами, он чувствовал иногда сильные желания, но теперь в первый раз узнал, что такое любовь.

"Иностранец, - сказала ему красавица, увидя его, - не находил ли ты здесь портрета? Ах! если он у тебя, так возврати Роксане то, что ей дороже жизни". - "Нет, прекрасная Роксана, - отвечал калиф, - судьба не хотела наградить меня счастьем быть тебе полезным..." - Калиф бы далее продолжал свои учтивости, но прекрасная его незнакомка, не выслушав и сих, отошла от него искать портрета. Калиф, не говоря ни слова более, сам стал шарить в траве. Надобно было посмотреть тогда величайшего калифа, который, почти ползая, искал в траве, может быть, какой-нибудь игрушки, чтобы угодить четырнадцатилетнему ребенку. Он был так счастлив, что в минуту нашел потерю. "Роксана! Роксана! портрет!" - кричал он, показывая ей издали портрет.

Она уже была от него далеко, как, услыша сей голос, бросилась к нему из всей силы. Радость, торопливость и нетерпение сделали то, что она запуталась в траве и упала бы, если б не поддержал ее Каиб. Какое приятное бремя чувствовал он, когда грудь Роксаны коснулась его груди. Какой жар разлился по всем его жилам, когда невинная Роксана, удерживаясь от падения, обхватила его своими руками, а он, своими поддерживая легкий и

тонкий стан ее, чувствовал сильный трепет ее сердца. "Возьми, прекрасная Роксана, сей портрет, - говорил ей Каиб, - и вспоминай иногда сей день, который возвратил тебе драгоценную потерю, а меня навсегда лишил вольности". Роксана ничего не говорила, но прелестный румянец, украсивший ее лицо, изъяснял более, нежели бы она могла сказать. "Незнакомец, - сказала она Каибу, - посети нашу хижину и дозвожь, чтоб я отцу моему показала того, кто возвратил мне потерянный мною портрет моей матери".

Они вошли в дом, и Каиб увидел почтенного старца, читающего книгу. Роксана рассказала ему приключение, и старик не знал, как отблагодарить Каиба. Его просили остаться у них на день, - можно догадаться, что он не отказал; этого мало: чтобы пробыть долее, он притворился больным и имел удовольствие видеть, сколь Роксана о нем сожалела и как старалась оказывать ему угождения... Может ли любовь долго скрываться? Оба они узнали, что они любимы взаимно; старик усмотрел их страсть: множество на этот случай наставлял он прекрасных нравоучений, но чувствовал, сколь они бесплодны; и сам Каиб, который с восхищением видал, как прекрасная Роксана чувствительна была ко нравоучениям и как нежное сердце ее уважало добродетель, сам Каиб не хотел бы, чтобы теперь слушала она нравоучения противу любви. Старик, любя дочь свою и пленясь добросердечием, скромностию и благоразумием Каиба, решился отговорить его от охоты к странствию и умножить его семейство.

Роксана просила его нежно, чтобы предпочел он спокойную жизнь и любовь ее желанию скитаться. "Ах! Гасан, - сказала она ему некогда, - если б знал ты, как ты мне мил, то бы никогда не оставил нашей хижины ни для великолепнейших чертогов в свете... Я люблю тебя столько, сколько ненавижу Каиба нашего". - "Что я слышу? - вскричал калиф, - ты ненавидишь Каиба!" - "Да, да, я его ненавижу столько же, сколько тебя люблю, Гасан! Он причиною наших несчастий; отец мой был кадием в одном богатом городе; он исполнял со всею честностию свое звание; некогда, судя родню одного царедворца с бедным ремесленником, решил он дело, как требовала справедливость, в пользу последнего. Обвиненный искал мщения; он имел при дворе знатную родню; отец мой был оклеветан; повелено отнять у него имение, разорить до основания дом его и лишить жизни; он успел убежать, подхватя меня на руки. Мать моя, не перенеся сего несчастия, умерла в третий месяц после нашего сюда переселения, а мы остались, чтобы докончить здесь жизнь в бедности и в забвении от всего света".

"Оракул, ты исполнился! - вскричал калиф, - Роксана, ты меня ненавидишь!.." - "Что с тобою сделалось, Гасан, - прервала смущенная Роксана, - не тысячу ли раз говорила я тебе, что ты мне дороже моей жизни. Ах! во всем свете я ненавижу одного только Каиба". - "Каиба! Каиба! Ты его любишь, Роксана, и возводишь своею любовью на вышний степень блаженства!" - "Дорогой мой Гасан сошел с ума, - говорила тихонько Роксана, - надобно уведомить батюшку". Она бросилась к своему отцу: "Батюшка! батюшка! - кричала она, - помогите! бедный наш Гасан помешался в уме", - и слезы навертывались на ее глазах. Она бросилась к нему на помощь, но уже было поздно, Гасан их скрылся, оставя их хижину.

Старик сожалел о нем, а Роксана была неутешна. "Небо! - говорил старик, - доколе не престанешь ты гнать меня? Происками клеветы лишился я достоинств, имения, потерял жену и затворился в пустыне. Уже начинал я привыкать к моему несчастью, уже городскую пышность воспоминал равнодушно, сельское состояние начинало пленять меня, как вдруг судьба посылает ко мне странника; он возмущает уединенную нашу жизнь, становится любезен мне, становится душою моей дочери, делается для нас необходимым и потом убегает, оставя по себе слезы и сокрушение".

Роксана и отец ее проводили таким образом плачевные дни, как вдруг увидели огромную свиту, въезжающую в их пустынь. "Мы погибли! - вскричал отец, - убежище наше узно! Спасемся, любезная дочь!" Роксана упала в обморок. Старик лучше хотел погибнуть, нежели ее оставить. Между тем начальник свиты к нему подходит и подает ему бумагу. "О, небо! не сон ли это? - вопиет старик, - верить ли глазам моим. Мне возвращается честь

моя, дается достоинство визиря; меня требуют ко двору!" Между тем Роксана опомнилась и слушала с удивлением речи своего отца. Она радовалась, видя его счастливым, но воспоминание о Гасане отравляло ее радость; без него и в самом блаженстве видела она одно несчастье.

Они собрались в путь, приехали в столицу, - повеление дано представить отца и дочь калифу во внутренних комнатах; их вводят; они падают на колени; Роксана не смеет возвести глаз на монарха, и он с удовольствием видит ее печаль, зная причину оной и зная, как легко может он ее прекратить.

"Почтенный старец, - сказал он важным голосом, - прости, что, ослепленный моими визирями, погрешил я противу тебя: погрешил против самой добродетели. Но благодеяниями моими надеюсь загладить мою несправедливость, надеюсь, что ты простишь меня. Но ты, Роксана, - продолжал он нежным голосом, - ты простишь ли меня и будет ли ненавидимый Каиб столь счастлив, как был счастлив любимый Гасан?"

Тут только Роксана и отец ее в величайшем калифе узнали странника Гасана; Роксана не могла ни слова выговорить: страх, восхищение, радость, любовь делили ее сердце. Вдруг явилась в великолепном уборе фея.

"Каиб! - сказала она, взяв за руку Роксану и подводя к нему, - вот то, чего недоставало к твоему счастью; вот предмет путешествия твоего и дар, посылаемый тебе небом за твои добродетели. Умей уважать его драгоценность, умей пользоваться тем, что видел ты в своем путешествии - и тебе более никакой нужды в волшебствах не будет. Прости!" При сем слове взяла она у него очарованное собрание од и исчезла.

Калиф возвел Роксану на свой трон, и супруги сии были столь верны и столь много любили друг друга, что в нынешнем веке почли бы их сумасшедшими и стали бы на них указывать пальцами.

## Карамзин

### Об авторе:

## К. С. АКСАКОВ

### О Карамзине

#### ***Речь, написанная для произнесения пред симбирским дворянством (1848)***

*Если б я хотел говорить вам речь, как обыкновенно говорятся у нас речи, я бы сказал, что "благородное Симбирское дворянство воздвигнуло здесь недавно знаменитый памятник одному из величайших народных русских писателей, что этим подвигом доказало оно свою ревность ко благу и пользе отечества". -- Но я не скажу вам ничего этого. -- Имея право общественного слова, я не стану вновь обманывать вас и себя заранее принятыми условными фразами, становить дело на ходули, окружать его натянутым риторическим светом, чем, увы, и так долго мы довольствовались. -- Неужели не надоели нам эти фразы? Пора наконец оставить нам ходули. Приходит наконец пора посмотреть делу прямо и строго в лицо, не убаюкивая себя принятыми выражениями, приходит пора возвратить слову всю его правду и откинуть великолепную и всегда вредную ложь. Что нужды, если многие громкие, бесполезные фразы от этого навсегда умолкнут? Тем лучше еще. -- Вследствие ли ленивого невнимания, вследствие ли чуждого направления они повторялись слишком долго и постоянно мешали свежему и бодрому взгляду. -- Так или иначе, но я здесь с тем, чтобы сказать вам прямо мою мысль. -- Я не скажу вам, что Карамзин был народный русский писатель -- он не был им; он, как и все наше общество с Петра, далеко стоит от народа, и народ не знает его. Его торжество не есть торжество народное. Карамзин, со всеми его великими заслугами, -- писатель и деятель публики, а не народа. Я не скажу вам -- как это было сказано в одной речи, -- что даже и крестьяне приносили добровольные пожертвования на поставленный*

здесь памятник Карамзину. Мы слышим часто про такие добровольные пожертвования и знаем их. Но если и были они, то и мне, и вам хорошо известно, что сознательным пожертвованием это быть не могло, что крестьянин не знает Карамзина, что Карамзин не перешел в народное ведение, а сведение о нем, как и о других писателях, и то являющееся исключением, ничего не доказывает. А мы непременно тянем к себе и к своим торжествам, для эффекта, народ и навязываем ему писателей, о которых он не знает. Несмотря на Гений и великие достоинства, Карамзин не может иметь чести, выше всех честей, чести принадлежать народу в настоящем смысле, не может назваться писателем народным. -- Я не обращаюсь к вам как к "Симбирскому благородному дворянству"; я обращаюсь к вам просто как к русским людям или хотящим быть русскими людьми -- ибо кто из нас возьмет смелость назвать себя русским человеком? -- Почтим это право пока за одним простым народом, за крестьянином. -- Я обращаюсь к вам как к братьям, у которых у всех одна забота и одна задача жизни, у которых у всех цель и любовь нашей жизни -- наша Русь.

Но в чем же значение и достоинство Карамзина и всей нашей литературы, какой же смысл ее при оторванности от народа? -- Об этом-то и будет наша речь.

Знаменитое, каждым из нас чувствуемое явление и дело Петра в нашей истории поставило всю землю в особые отношения; Петр явился с блеском нововведений, с блеском полной эгоистической свободы жизни для частного человека, вообще с блеском Западного европеизма. Вы знаете, что его преобразование не было мирное учение новой мысли. С топором в руках увещевал он своих подданных следовать за ним. -- Боюсь вдаваться в искусительные изыскания, которые заведут далеко и отвлекут нас от предмета, в исследования о мере правды и лжи Петровского переворота; но я думаю, что со мною согласятся по крайней мере в том, что в перевороте Петра если была истина, то была и неправда, и ложь. Эта ложь состояла в страшной односторонности, в излишнем развитии государственности и вместе с тем в полном неуважении к Русской земле, в воззрении на нее как на материал для своих планов, в подражательности и, конечно, в насилии. Петр Русской земли не понимал; он понимал только русские способности. На народ смотрел он как на безгласную массу и всю Россию хотел обратить в тесто, из которого мог бы вылепить немецкие фигуры. -- Всю Россию хотел он обратить в машину, в государство, не признавая -- от начала до него и доселе существующей -- Русской земли. -- Дело его удалось, но не совсем и, смеем думать, не навсегда. Вся эгоистическая сторона России, все люди служилые, холопы государевы {Россия, не разделяясь на неподвижные сословия, разделялась на два разряда: на людей служилых, государевых, и людей земских. К первым принадлежали все бояре, дворяне, вообще все чиновники от казны, другими словами, все, что было от государства. Ко вторым -- весь народ, все крестьяне, купцы и чиновники, выборные от народа. Только люди служилые назывались холопами (крестьяне и под.) -- никогда.} -- все это вняло гласу Петра и перешло к нему. Остался безоружный крестьянин и удалился с поприща; если он не действовал нападатально, то он стал оборонительно за свой образ и быт. Петр отменил намерение брить крестьянам бороды и одевать по-немецки. Много и из других чинов стало против Петра. Мы доселе слышим невежественные обвинения наших предков за то, что они стали за свои бороды. -- Легкомысленные суждения внуков, не знающих ни своей истории, ни жизни своей земли! -- Наши предки стали не за одни бороды, они стали против прихоти человека, которую он хотел сделать законом. Замечательно, что брадобритие встречалось в России и прежде, что немецкие платья иногда надевались, и народного негодования не слышать, кроме протестации духовенства. -- Почему? Понятное дело. Признавалось право за всяким одеваться как ему угодно. Но когда немецкое платье и бритье явились как принудительная прихоть, когда это стало символом не-русского человека, когда это сделалось насилием, тогда борьба за бороду получила полный и глубокий смысл, между прочим, смысл борьбы за свободу. Все, что стало против Петра из государственного порядка или наряда, то уступило

совершеннейшему его развитию, дальнейшему ходу государства (что и понятно). -- Много голов пало. Много бояр, дворян и служилых людей не хотели уступить прихоти одного человека и жизнь свою заплатили за сохраненное право. Стрельцы, старое войско войною пошло на новый порядок вещей -- и пало. Когда спрашивали их о причине восстания, они говорили (как свидетельствует Голиков), что "государь начал веровать в немцев". -- Все, что из государственного порядка (сказали мы) восстало против Петра, -- было побеждено; осталась мирная, земская община, крестьяне -- и не была побеждена. Крестьянин, сохраняя характер борьбы безоружной, удалился, унося с собою Русской образ и Русскую жизнь неприкосновенными, унося с собою понятие о сходке, о мире как о драгоценном залоге от первых времен на все времена Русской жизни. -- Между тем Петровская сторона всем овладела: и богатством, и почестями, и силою. Петр призывал русских на свою сторону, давая простор эгоистическим стремлениям человека, и в жертву от них требовал отречься от народности или от народа. Но эта жертва была и награда в то же время, ибо народ налагает свои великие права и священную тяжесть союза, и непременно требует в жертву вашего эгоизма. -- Россия разделилась надвое: с одной стороны, земля и народ, хранящий в себе земскую Русскую жизнь, с другой стороны, общество без народа, общество, отречившееся от своей народности, от человеческого, стало быть, значения и чести и за то усиливающееся приобрести другую честь, честь обезьяны. Другими словами, Россия разделилась на народ и публику. Публика есть аристократическое понимание народа или, лучше, аристократическое понимание, внесенное в самый народ: где есть публика, там голос народа не свободен. -- У нас и народ, и публика имеют эпитеты: народ у нас православный, а публика -- почтеннейшая. -- Публика (начавшая существовать с Петра Великого) переняла между прочим и литературу. И на таком-то ложном основании, на отречении от своего народа, на обезьянстве Западу, воздвиглась наша литература. Вмиг явился весь Олимп у нас; Феб с девятью музами предложил свои услуги; поэты сейчас напились ипокрены и загремели по лирам. Литература наша, конечно, толковала и о России, но о России другой. Русские люди для нее не существовали: речь идет только о Россах; и этого бедного Росса, без всякого, конечно, сочувствия, которое и невозможно, хвалят до невероятности, и все герои Греции и Рима (обыкновенно они за все отвечают) дрянь перед Россом; надутые фразы так и летят с пера... Каково же было Русской душе в этой отвлеченной сфере нашей литературы?..

Теперь мысль моя, я думаю, ясна. Вся наша литература есть явление отвлеченное, ложное по своей сфере и нисколько не народное и не живое. Весь интерес литературы состоит в той борьбе, которую подымает личный талант писателя с отвлеченностью и мишураю сферы. Состоит интерес в том, как Русская душа, попавшая в эту холодную область отвлеченной лжи и обезьянства, смутно сознает и ищет Русской земли, Русского народа, Русской жизни; как, наконец, от Росского и Российского переходит она к Русскому.

Ряд таких усилий вырваться из отвлеченности и подражательности и прийти к действительности и народности -- представляет наша литература. История литературы важна, следовательно, для нас (для публики), во сколько она подвигает нас к народу, заставляя наконец сознать нашу отвлеченность. На это дело также должно быть употреблено много сил и таланта, и благородного сердца, и правдивой души. Оно одно стоит этих усилий, -- и каким вдохновением, и какою красотой сопровождаются они, хотя и то и другое, разумеется, относительно и отвлеченно. И как будем мы, оторванные от народа, благодарны также от народа оторванным, также отвлеченным деятелям нашей литературы за борьбу их с отвлеченностью, за Русское их чувство, за то, что они если не вполне, но все почувствовали ложь всего нашего положения, всей подражательности, за то, что они подвинули великое дело приближения нас, беглецов своей земли, к народу, -- великое дело освобождения нас от недостойного образа обезьяны на славу человеческого образа.

Таким деятелем, и деятелем сильным, был Карамзин. Рожденный и воспитанный в отвлеченной сфере, приобретший много познаний, Карамзин предался умственной деятельности. -- В самом деле, ум может действовать в сфере чисто отвлеченной, но будет ли он плодотворен? Конечно, нет. Мысль тогда плодотворна, когда есть для нее живое обращение и когда она переходит в общее ведение и достояние, чего без союза народного быть не может; вот почему в течение полутора лет, при уме и при дарованиях замечательных, мы не сказали ни одной прочной мысли, о которой стоило бы упомянуть, ничего не сделали для человечества, о котором много толкуем, потому что ничего не сделали для народа, от которого удалились и с которым даже толковать перестали. -- В это общее для всех, для всей публики, и отвлеченное поприще умственной деятельности пустился и Карамзин; но не таким образом, как его предшественники. Доселе вся наша литература стояла на классических ходулях: отвлеченность, не принадлежащая (как действительность) даже никакому существующему народу. Неестественность их почувствовал Карамзин. Неестественность их чувствовалась всеми более или менее, но прежние ходули все стояли. -- Карамзин двинулся на новый путь и увлек все за собою, на какой же путь, народный? -- Нет, он переменял ходули на ходули: ходули латинские и греческие, ходули древние -- на ходули французские, германские, вообще на современные; отвлеченность классическую переменял он на отвлеченность романтическую, -- и все заходило на новых ходулях по примеру сильного человека. Лучшие или хуже? Хуже с первого взгляда, ибо эти новые ходули были современны, имели живой смысл и действительность у других современных народов и могли бы, кажется, долее продержаться; но лучшие на самом деле: ибо, прикоснувшись к какой бы то ни было жизни, мы должны же были наконец почувствовать потребность жизни у себя, и должна была возникнуть борьба между правдою народности и ложью подражательности, борьба, которая началась и идет. Конечно, не вдруг защитники Западно-Российской отвлеченности откажутся от нее, не вдруг откажутся от легкого умения ходить на ходулях, петь с голоса, не вдруг откажутся от удобной роли обезьяны, от сладости беззаботного эгоизма. На пути к народу ждет человека труд и самоотвержение, дело самостоятельной мысли и дело самостоятельной жизни. -- Но чем сильнее борьба, тем она действительнее, и прочна будет победа со стороны правой. -- Возвратимся к Карамзину.

Итак, Карамзин открыл в литературе новое поприще для подражательности, первый явившись на нем как относительно самого содержания, так и относительно слога. Первые его произведения носят на себе ярко этот славный отпечаток. -- Таковы "Письма Русского путешественника", начавшиеся так: "Расстался я с вами, милые друзья, расстался"<sup>2</sup>. С сих первых слов уже слышен новый тон, несравненно более живой, нежели тон его предшественников, но нежный и мягкий, грозящий своей исключительностью, своим излишеством и новою, хотя, как сказали мы выше, лучшею отвлеченностью. В самих путешествиях его мы уже находим все это. В них живо является весь юный Карамзин со своею юною, новою деятельностью. Его прекрасная душа, его близкое знакомство с умами Европы, его идиллическое, сантиментальное сочувствие к природе, его легкомысленный восторг и суд перед Западом. -- Таковы же были и первые его произведения: "Бедная Лиза", "Остров Борнгольм" и др. -- Что касается до языка, то он также освободил его от непременно тяжелого характера, от замкнутого оборота Речи, вовсе не чуждого языку нашему, но вовсе не исключительного; а до Карамзина он был исключителен, сильно опираясь на оборот латинской как образец оборота замкнутого, возвышенного и распределенного мыслию и подражая ему так, что многие, не пускаясь в глубь рассуждений, решили однажды, что этот оборот нашей речи -- влияние латинского языка и более ничего. Было ли собственное основание для такого оборота речи и в какой степени, -- этот вопрос не был даже поставлен. В своем "Рассуждении о Ломоносове" я стараюсь решить его. Основание замкнутого оборота, или так называемой латинской конструкции, лежит, по моему мнению, в нашем языке, в

самых глубоких и вечных его началах. Замкнутый оборот речи нам свой; он принадлежит нам самобытно и по праву. Его встречаем мы в наших грамотах, в речи народной и теперь, наконец, в церковнославянском языке. Но этому обороту придан был нашими классическими (!) писателями характер латинской, и, сверх того, односторонний и исключительный. -- Карамзин был прав в своем противодействии этому искусственному языку, -- языку публики, а не народному; но был он не прав, что не заметил (впрочем, он и не мог заметить) сквозь искусственность речи естественные и законные основы оборота замкнутого. Как в самой литературе, сказали мы, переменял он ходули на ходули, но к лучшему, -- так и в языке, неразлучном с литературою как среда, в которой живет она, переменял он одну искусственность напыщенности, латинскую, на искусственность простоты, разговорности, по преимуществу французскую. Вместо исключительного оборота речи, замкнутого, явился исключительный оборот речи, распушенный. Простоты Карамзин дать не мог; он дал только пустую легкость и текучесть: свойства чисто внешние и легко обрацаемые во зло. Речь является какой-то бесконечной плетеницей, слова подбираются нужные и ненужные к слову ближайшему, и Карамзинский писатель мог бы, кажется, говорить или вести речь целый век, если б его не остановили или бы сам он не думал остановиться. Конца в составе речи Карамзинской нет. Конечно, такое образование слога является в ущерб языку {Есть забавное положение Карамзина; он сказал: "Пишите как говорят, но и говорите как пишут". Положение, которое решительно ничего не значит. Потому что письменность должна держаться разговора, а разговор письменности, то чего же держаться им обоим? И то, и другое представляется неопределенным, ибо здесь дается определяющий совет: какой же? И то и другое должно походить друг на друга; следовательно, и то и другое остается неопределенным. Это положение, забавное своею наивною нелепостью, недавно было предметом серьезного толкования.}, -- Карамзин не дал простоты, но где же было и взять ее, когда не было простоты в самой литературе, в самой жизни? Где найти ее в отвлеченности, по своему уже существу ее исключаящей? Она в действительности, она в народной жизни, которой не было, которой нет даже и доселе для нашей литературы, как и для всего на иностранный лад живущего общества. Она у народа, удалившегося с поприща и замолкнувшего о многом; она в его устах, и недостижима нам без народной жизни, без союза или, лучше, без слияния нашего с народом. -- Но Карамзин внес стремление к простоте -- и в этом-то и есть выгода его подвига в языке, хотя до сих пор стремление это употребляется во зло. Впоследствии слог Карамзина удалялся от пустой легкости и праздно-связности речи. В его Истории, в последних томах, это видно.

Вот наше краткое мнение о слоге Карамзина; возвратимся к его литературным произведениям. Первые произведения Карамзина (как сказали мы выше) были плодом нового подражательного направления, внесенного им в нашу литературу. Но скоро темное и еще отвлеченное чувство "милого отечества" пробудилось в Карамзине и обратило его внимание на русскую историю. Плодом этого были новые произведения. Конечно, ничего русского в них нет; ничего русского в этих новых невиданных образах, появившихся на Руси в литературе; тайна народа не открылась, -- но все это были не "Трувор, Синав, Владимир, Иоанн", решительно не возбуждавшие сочувствия. Это были не менее ложные, но уже по самому новому (хотя все отвлеченному, не надо забывать) направлению, вследствие которого явились, -- более как-то близкие лица для публики нашей. Сочувствие нашего преобразованного и отвлеченного общества все же стремилось к ним. Родные имена сладко звучали в ухе. Кто не знает начала "Марфы Посадницы": "Раздался звук Вечевого колокола, и вздрогнули сердца в Новогороде!" -- Итак, как бы то ни было, шаг был огромный. Пробудился общий интерес, разумеется, только для публики. Публика увидела, что она может обойтись без героев Греции и Рима, что она может назвать других героев, ей близких, современных европейских; может разделить другое, ей близкое, общее для нее, современное иностранное направление, -- и

может, следовательно, судить и принимать участие в литературе. -- Надо сказать здесь важное положение: с Карамзина литература наша сделалась общим достоянием публики, тогда как до него даже для самого отвлеченного общества нашего (для публики) она -- его отвлеченный плод -- была недоступна, была, следовательно, вдвойне отвлеченна. -- Если в публике могло и должно было пробудиться сознание в своей лжи и отвлеченности, в своей неправде перед народом, если это сознание и весь путь его усилий высказывался в литературе, то, я думаю, ясно, что дело очень выигрывает, когда для всей публики становится доступною литература и публика вся призывается принимать в ней участие. -- Мы сказали о т<ак> н<азываемых> русских повестях Карамзина; он писал их, движимый новым, но все отвлеченным, не великолепным, а уже милым сочувствием к отечеству, нашедшим всеобщий отголосок и в литературе, и в публике. Но долго потом и повести Мармонтеля, и разные другие сочинения показывали, какое направление вызвало эти, будто бы русские, образы, непременно бы отвергнутые простою и строгою Землею. Русского дела, русской жизни тут не было; это все был еще русицизм. Замечательно, как при таком ложном, отвлеченном русском направлении, или, лучше (как я выразился, думаю, верно), русицизме, попадаютя целиком высокие мысли и выражения из русской жизни, сейчас опошлившиеся до такой степени, что само истинное русское направление не вдруг возвратит им, в употреблении по крайней мере, всю их вечную свежесть. -- Таковы: наш православный народ, или: православные] Таково: Святая Русь, опрофанированная, как скоро недостойные ее, не народные уста стали произносить ее имя, а уста русских западоклонников, разорвавших связь с родной землей и желающих иногда быть не русскими, а русицистами. Таковы: Белокаменная, Русское хлебосольство, Московское радушие и пр. Иные дошли до отвратительного, таково: Русское спасибо. При этом слове сейчас рисуется противная фигура Господина во фраке, который отрекся от всей русской жизни и между тем, нимало не желая изменяться, старается ухватиться за народное. Это официальное чувство, и не чувство в то же время, а разве ощущение, -- как оно уродливо-гадко; хочется вскрикнуть, как будто кто дотронулся до раны. Но есть таки<е> опять русицизмы, которые клеймят небывальщину на русский народ. Таково, например, понятие и выражение русской барин! Он обязан появлением своим на Руси европейскому влиянию. Вообще трудно найти выражение и понятие противнее этого, а оно ведь похвала. Есть люди, которые с особенным наслаждением, медленно, с чувством и расстановкой произносят это выражение: Русской барин! Клевета состоит в том, что это недостойное явление называют народным, существенно народным, даже древним, даже превосходно выражающим народ!.. Можно ли это слышать? Русской барин -- это не допетровское лицо: самое имя барин было неизвестным Древней Руси, -- это явление послепетровское, эта безобразная смесь своих неограниченных прав и чужих недостатков есть произведение знаменитого Преобразования и преимущественно принадлежит Екатерининской эпохе. При этом слове мысль о роскоши Западной, о вельможестве является вам, о совершенном отращении от своей родной земли, -- и в то же время о тысячах русских душ, материале и источнике прихотей и роскоши. Он сыплет деньги; по мнению некоторых, он благотворит, -- но самая эта снисходительная благотворительность еще более оскорбляет: чувствуешь, что это такая же прихоть. -- На крестьян смотрят с точки зрения барина, как на руки и ноги, добрые смотрят как и на желудок, и никто не смотрит как на головы и сердца; даже до сих пор последнее воззрение появляется в немногих, и теперь случалось нам услышать от одного европейски образованного барина: "Это полулюди". А многие филантропы в своем человеколюбивом умилении только того и хотят, чтоб глупые крестьянские головы и сердца варили те новости и истины, которые вздумают они им рассказывать, как для детей, языком для них понятным, напр<имер>: что такое бык и которой рукой надобно молиться, или: пьянство вредно, и тот, кто ленив, наработает мало. Такие советы показывают меру ума этих господ филантропов. -- С радостью кинулся бы к толстобрюхому боярину (мы

берем даже недостойный образ), не умеющему грамоте, но верующему вместе с народом и ограниченному в отношении к подвластным ему холопам и крестьянам указами уложения и народною связью, -- кинулся бы прочь от европейского Русского барина (в которого боярин превратился после Петра), роскошного, просвещенного, элегантного, -- и ничем не ограниченного: ни народностью, ни законами, дикого и страшного, небывалого деспота! Порождение Петровского переворота, Русской барин исчезнет вместе с ним. Скажите, чего нам лучше имени Русской человек? Не довольно ли этого?

Мы вдалились в отступления, но они нужны для характеристики эпохи, в которой действовал Карамзин. -- Среди переводов Мармонтеля и Вольтера Карамзин тревожился Русской историей, заставившей его написать несколько статей. -- Наконец, неясные порывы, его темная любовь к "милому отечеству" нашла дорогу и обратилась в дело. Русская история открылась для Карамзина. Здесь отвлеченный и вместе искренний писатель столкнулся с самою жизнью Русскою. Произошло свидание; но отвлеченный Русский деятель на ходулях, с Западными понятиями, не узнал в этом свидании Русской истории: так успел отдалить Петровский переворот последовавших за ним. Но непониманию противопоставил Карамзин чистоту и искреннюю любовь, и книга его согрета чувством человека, не понявшего своей земли, но любящего ее. Его История -- создание отвлеченное, но прекрасное, исполненное чувства. Мог ли он, при всем таланте своем, тогда писать иначе? Он назвал свою историю "Историей Государства Российского" -- название верно. -- Карамзин искал Государства, его хотел описывать, не требуя, не понимая и не предполагая Земли, мысль о которой и не возникала тогда. -- Как грустно и скучно ему (историку) в периоде удельном, как хочется ему героев, о которых читал он в Западных исторических книгах, как говорит в нем иностранно-национальная честь, как наряжает он Мстиславов, Изяславов, Владимиров в разные геройские одежды, -- и как бледны они у него; а это в самом деле были люди великие, но живые образы, но живые речи их, сохраненные летописями, не пробиваются сквозь риторический слог истории Карамзина. Как радуется Карамзин Иоанну III, как хороши слова, сказанные об нем; отсюда История его становится и полнее, и сильнее, до самого междуцарствия, где, лишенная Государей, она опять теряется. -- Да, Карамзин именно писал историю Государства Российского; он не заметил безделицы в Русской истории -- Земли, народа. Заслуга его истории та, что она пробудила поневоле сочувствие публики к судьбам родной земли, сочувствие, неверно высказавшееся, но тем не менее уже пробужденное; ибо темное Русское чувство лежит в нас, лежит возможность возникнуть в нас Русскому человеку, отказаться от публики и перейти к народу, -- а без того какой бы смысл имела для нас жизнь? -- Темное Русское чувство лежит в нас, беглецах родной и народной жизни, сказал я, а возбужденное, оно найдет себе дорогу, бросит ложную и выйдет на прямую. -- История Карамзина сама по себе и по влиянию на общество выражает благотворное усилие Русского чувства вырваться из-под чужих, отвлеченных пут; эти пути еще на нем, оно еще ими тешится; но противоречие является неминуемо, ибо уже есть потребность чувства самостоятельного, которое не терпит подражания. -- Важнее всего то, что Карамзин, приступив с Западными понятиями к истории, поклонник Государства, мало-помалу преобразовался сам Русской историей, учился у нее и пришел под конец к новым убеждениям, несогласным с прежними. Его неизданные позднейшие сочинения это доказывают. Русское дело двинулось вперед; в настоящее время много упало ходуль, много туману слетело с глаз, ясно заговорило Русское чувство; и для многих, уже твердо ставших на поприще Русского направления, было приятно нечаянно узнать, что Карамзин в ненапечатанных своих сочинениях так близко подходит к современным понятиям, к понятиям их стороны, о русском деле. -- Здесь кстати сделать оговорку. Русское направление, высказавшееся теперь так сильно, вовсе не от Карамзина ведет свое начало. Оно ведет начало от времен самого Переворота, ибо с него и началось это темное противодействие иностранному влиянию. Всякая живая душа чувствовала темно ложь его на себе, и темно боролась. Чтоб сказать

определительнее, это идет от Ломоносова. Эту глухую, темную, постепенно выясняющуюся борьбу определили мы нашу литературу, и эта прекрасная борьба дает ей смысл и занимательность. Карамзин есть один из таких борцов, и причем из борцов сильных: вот и все. Начало же этого направления от Русской души и от истины. Не видеть этого показало бы только странную близорукость. Сверх того, как мы сказали уже, ненапечатанные сочинения, в которых именно выражается образ мыслей (к какому пришел Карамзин), сходный с современным Русским образом мыслей, -- эти сочинения сделались известны очень недавно, по крайней мере, многим из тех, которые уже крепко стали за Русское дело, в которых пробудилось Русское чувство, Русский дух и Русское направление. -- В этих ненапечатанных сочинениях Карамзин задумывается над переворотом Петра, чувствует его односторонность, замечает, что он отделил нас от народа, и, наконец, заступает за Русский образ и бороду, на которую напал прежде. В письмах своих он говорит о Москве и Петербурге, понимает, хотя еще не вполне, хотя снисходительно, -- всю ложь последнего, отдает преимущество Москве и говорит, что все или, по крайней мере, главное значение народное в Москве, -- одним словом, выражает уже Русской образ мыслей. -- Итак, начавши с ложного направления, но исполненный любви и прекрасный душою Карамзин в награду пришел к истинному образу мыслей и много, много способствовал ему. В этом его великая заслуга. Любовь пробилась сквозь мишуру и вышла на чистую дорогу. -- Теперь мысль наша окрепла, видать яснее, деятельность стала сильнее, и сильнее говорит чувство; мы видим, чего не видели за несколько лет. Мы не назовем Карамзина народным писателем; мы уже определили его значение, как и всей нашей литературы и ее деятелей. Но он, как и другие писатели, и он более многих из них, -- подвинул наше отвлеченное общество, подвинул нас к сознанию действительности, к земле нашей. Ему, как и другим, обязаны мы многим, обязаны мы тем, что теперь живо начинаем понимать нашу землю, что Русское чувство заговорило в нас, -- обязаны истиною, отчасти узнанною, отчасти нами в свою очередь узнаваемою. Ему же обязаны мы и самой речью, теперь произносимой, ему самому обязаны мы тем, что, откинув ложные похвалы, не называем его народным писателем, но видим, что он писатель публики, писатель отвлеченной сферы, чтобы вырваться из которой сделал он, на пользу всем, большой шаг, -- видим его настоящее место и настоящую заслугу.

Так понимаем мы значение Карамзина. -- Мы не говорим о нем напыщенно и праздно, не пишем великолепного и ложного панегирика. Хвалим и благодарим его правдивою, прочною хвалою и искренним сердечным благодарением воздаем ему истинную и истинно великую честь.

Что касается до личности, то, по нашему мнению, она значит немного в подвиге, имеющем влияние на всю страну или на все человечество. Участие ее здесь невелико. К подвигу, к мысли приносит она только искренность, и потому уже самое дело, самая история возносит личность на высоту. Значение ее остается, как и всегда, нравственное. Искренность и убеждение -- вот ее сила. Может ли личность вполне и бескорыстно предаться какой-нибудь мысли, поверить чему-нибудь? -- Если может, -- довольно; а там уже не ее дело. Убеждение ее право и истинно; оно совпало с голосом народным, с требованием времени, -- и оно торжествует. Таково наше понятие о всех великих людях, из которых иные весьма невелики. Таково наше мнение об участии лица в подвиге. -- Карамзин, как двигатель литературы, является нам именно в таком же отношении к своему подвигу. Но именно, что признаем мы за Карамзиным, -- это его нравственное значение, его чистую душу и искреннюю любовь. Любовь делает чудеса, и она-то положила дорогу Карамзину сквозь мишуру общества, вооружила его влиянием, произведшим переворот, давшим новое направление, ложное, но уже более истинное, чем предыдущее, и наконец приведшее к истине, чему именно Карамзин много способствовал. -- Под истиной разумею я Русское направление, направление народное, самобытное, действующее теперь и трудящееся много, и с каждым днем уясняющее себе место и путь, направление новое и древнее, в том смысле, в каком древнее -- вечное, и новое

*только потому, что оно было долго подавлено преходящим, которое может пройти и устареть, и таким образом непременно становится противоположное себе направление как новое. -- Говоря здесь об истине, о русском направлении, я не стану говорить о противниках наших, об этих устаревших Петровцах, которые еще не догадались, что юное, вступающее в жизнь, не на их стороне.*

*Еще раз: хвала и благодарение Карамзину, сильному деятелю на поприще усилий Русского чувства, стремящегося к действительности, к самостоятельности, на поприще возвращения нас, беглецов своего народа, вновь к народу, источнику всякой самобытной, истинной жизни. Заклучим нашу речь этим священным именем, именем, которым и сам Карамзин желал бы, чтобы заключилась речь об нем, -- именем, драгоценным для Карамзина, для вас, для меня, для нас всех, именем Русского Народа.*

## **БЕДНАЯ ЛИЗА**

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели – куда глаза глядят – по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...новаз монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужас-ную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфите-атра: великолепная картина, особенно когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, кото-рые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монасты-ря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на раз-валины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, – стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, – печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах – с бледным лицом, с томным взором – смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит – и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет – и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества – печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря – воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Сажень в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого лу-га, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспре-станно проливая слезы о смерти мужа своего – ибо и крестьянки любить умеют! – день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, – которая осталась после отца пятна-дцати лет, – одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, труди-лась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды – и про-давала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать, – говорила Лиза, – ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих – ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокое-ния матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. – «На том свете, любезная Лиза, – отвечала горестная старушка, – на том свете перестану я плакать. Там, сказыва-ют, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу уме-реть – что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, пе-рекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы – и покраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» – спросил он с улыбкою. – «Продаю», – отвечала она. – «А что тебе надобно?» – «Пять копеек». – «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». – Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, – еще более покрасне-лась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. – «Для чего же?» – «Мне не надобно лишнего». – «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девуш-ки, стоят рубль. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». – Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. – «Куда же ты пойдешь, девуш-ка?» – «Домой». – «А где дом твой?» – Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой че-ловек не хотел удерживать ее, может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...» – «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос...» – «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю господа бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». – У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непро-дажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» – сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем. – На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.

«Что с тобой сделалось?» – спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. – «Ниче-го, матушка, – отвечала Лиза робким голосом, – я только его увидела». – «Кого?» – «Того госпо-дина, который купил у меня цветы». Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего. «Здравствуй, добрая старушка! – сказал он. – Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей – может быть, для того, что она его зна-ла наперед, – побежала на погреб – принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, – схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил – и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкус-нее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утеше-нии–осмерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч., и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были – нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блеснит и в облаке ис-чезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. – «Мне хотелось бы, – сказал он матери, – чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам». – Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подо-зревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бываю отменно хороши и носятся долее всяких других. – Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?» – спросила старуха. – «Меня зовут Эрастом», – отвечал он. – «Эрастом, – сказала тихонько Лиза, – Эрастом!» Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. – Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка! Матушка! Как этому стать? Он барин, а между крестьянами...» – Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои проводжали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», – думал он и решился – по крайней мере на время – оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь – мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души

ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове природы. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. – Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, – и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: „Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей“. Он взглянул бы на меня с видом ласковым – взял бы, может быть, руку мою... Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум весел – взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке – Эраста. Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и – мечта ее отчасти исполнилась: ибо он взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку... А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем – не могла отнять у него руки – не могла отворотиться, когда он приблизился к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящего! «Милая Лиза! – сказал Эраст. – Милая Лиза! Я люблю тебя», и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и... Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту вос-торга исчезла Лизина робость – Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, от-крытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, – смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: «Люби меня!», и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. «Ах, Эраст! – сказала она. – Всегда ли ты будешь любить меня?» – «Всегда, милая Лиза, всегда!» – отвечал он. – «И ты можешь мне дать в этом клятву?» – «Могу, любезная Лиза, могу!» – «Нет! мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?» – «Нельзя, нельзя, милая Лиза!» – «Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!» – «Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего сказывать». – «Для чего же?» – «Старые люди бы-вают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое». – «Нельзя статься». – «Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова». – «Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее». – Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видаться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Ли-зиной хижины, только верно, непременно видаться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» – думала она и восхищалась сею мыслию. «Ах, матушка! – сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. – Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!» – Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг,

чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно, в самом деле, показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. «Ах, Лиза! – говорила она. – Как все хорошо у господина бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травой и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали». А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины) – дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лу-чами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поце-луем. Они обнимались – но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия.<sup>4</sup> «Когда ты, – говорила Лиза Эрасту, – когда ты скажешь мне: „Люблю тебя, друг мой!“», когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме – Эраста. Чудно! Чудно, мой друг, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыха-ния ветерок мне неприятен». – Эраст восхищался своей пастушкой – так называл Лизу – и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба не-винной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, – думал он, – не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» – Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. «Я люблю ее, – говорила она, – и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого». – Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться – до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» – Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели. «Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?» – «Ах, Эраст! Я плакала!» – «О чем? Что такое?» – «Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла». – «И ты соглашаешься?» – «Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучить-ся при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!» – Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастье дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих ле-сах, как в

раю. – «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» – сказала Лиза с тихим вздохом. – «Почему же?» – «Я крестьянка». – «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу». Она бросилась в его объятия – и все сейчас надлежало погибнуть непорочности! – Эраст чувство-вал необыкновенное волнение в крови своей – никогда Лиза не казалась ему столь прелестною – никогда ласки ее не трогали его так сильно – никогда ее поцелуи не были столь пламенны – она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась – мрак вечера питал желания – ни одной звездочки не сияло на небе – никакой луч не мог осветить заблуждения. – Эраст чувствует в себе трепет – Лиза также, не зная отчего – не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где – твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал – искал слов и не находил их. «Ах, я боюсь, – говорила Лиза, – боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?» – Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. «Эраст, Эраст! – сказала она. – Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков – казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. – Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним. «Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!» – «Будем, Лиза, будем!» – отвечал он. – «Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем... Но полно! Про-сти! Завтра, завтра увидимся».

Свидания их продолжались; но как все переменялось! Эраст не мог уже доволен быть одни-ми невинными ласками своей Лизы – одними ее любви исполненными взорами – одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, – а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде восплалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог гордиться и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастье. Она видела в нем перемену и часто говорила ему: «Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!» – Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело», – и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход». – Лиза по-бледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила: «Тебе нельзя остаться?» – «Могу, – отвечал он, – но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества». – «Ах, когда так, – сказала Лиза, – то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить». – «Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза». – «Я умру, как скоро тебя не будет на свете». – «Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». – «Дай бог! Дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни

читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе—о слезах своих!» — «Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». — «Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое». — «Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся». — «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!»

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиной матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что ласковый, пригожий барин ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по угово-ру, принадлежит мне». — Старушка осыпала его благословениями. «Дай господи, — говорила она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» — Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объ-ятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — и наконец скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя — и свет показался ей уныл и печален. Все приятности природы сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! — думала она. — Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертью своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» — Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: «У меня есть мать!» — остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. — С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда — хотя весьма редко — золотой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!» — от сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. — Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретила ее великолепная карета, и в сей карете увидела она — Эраста. «Ах!» — закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и повернула на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг по-чувствовал себя — в Лизиних объятиях. Он побледнел — потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства пе-ременились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей — возьми их, — он положил ей деньги в карман, — позволь мне поцеловать тебя в по-следний раз — и

поди домой». – Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте – готов прокли-нать его – но язык мой не движется – смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную бэль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? – Нет, он в самом деле был в ар-мии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства – жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!» – вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза – встала с помощью сей доброй женщины, – благодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить, – думала Лиза, – нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!» – Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сер-дечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость – осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девуш-ку), идущую по дороге, – кликнула ее, вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказа-ла: «Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке – они не краденые – скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому че-ловеку, – к Э... На что знать его имя? – Скажи, что он изменил мне, – попроси, чтобы она меня простила, – бог будет ее помощником, – поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, – скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, – скажи, что я...» Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню – собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы там, в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела – гла-за навек закрылись. – Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могилке. – Теперь, может быть, они уже примирились!

## **XIX век**

**Баратынский Е. А.**

**Об авторе:**

## **В. Брюсов. Е. А. Баратынский**

Баратынский, Евгений Абрамович, даровитый поэт. Родился 19 февраля 1800 года, в селе Вежле (Тамбовской губернии, Кирсановского уезда), и был сыном генерал-адъютанта Абрама Андреевича Б. и фрейлины Александры Федоровны, урожденной Черепановой. В детстве у Б. дядькой был итальянец Боргезе, и мальчик рано ознакомился с итальянским языком; вполне овладел он также французским, принятым в доме Баратынских, и лет восьми уже писал по-французски письма. В 1808 году Б. отвезли в Петербург и отдали в частный немецкий пансион, где он выучился немецкому языку. В 1810 году умер отец Б., и его воспитанием занялась его мать, женщина образованная и умная. Из немецкого пансиона Б. перешел в пажеский корпус, но пробыл там недолго. Сблизившись с некоторыми товарищами, Б. участвовал в серьезных шалостях, из которых одна, граничившая с преступлением (кража), повела к исключению его из корпуса, с воспрещением поступать на какую бы то ни было государственную службу, кроме военной - рядовым. Это происшествие сильно подействовало на юношу, которому было тогда лет 15; он признавался позднее, что в ту пору "сто раз был готов лишиться себя жизни". Бесспорно, позор, пережитый поэтом, оказал влияние на выработку пессимистического его мировоззрения. Но было бы ошибкой придавать случайному событию слишком большое значение в духовной жизни Б. Из его детских и юношеских писем видно, что он духовно созрел очень рано и с первых лет сознательной жизни уже был склонен смотреть на весь мир сквозь мрачное стекло. 8-летним ребенком, из пансиона, он писал матери о своих школьных товарищах: "Я надеялся найти дружбу, но нашел только холодную и аффектированную вежливость, дружбу небескорыстную: все были моими друзьями, когда у меня было яблоко или что-нибудь иное". 11 лет он писал: "Не лучше ли быть счастливым невеждою, чем несчастным мудрецом?"

Отказываясь от того, что есть в науках хорошего, не избавляемся ли мы и от утонченных пороков?" Утешая мать, после смерти бабушки, Б. в 1814 году рассудительно замечал: "Я понимаю вашу скорбь, но подумайте, дорогая мамаша, что это - закон природы. Мы все родимся затем, чтобы умереть, и, на несколько часов раньше или позже, всем придется покинуть тот ничтожный атом грезы, что называется землей!" Из пажеского корпуса, еще до обнаружения печальной истории, он писал матери: "Существует ли такое прибежище в мире, кроме пределов океана, где жизнь человеческая не была бы подвержена тысячам несчастий, где смерть не похищала бы сына у матери, отца, сестру? Повсюду самое слабое веяние может разрушить тот бранный состав, что мы называем нашим существованием". Конечно, все эти рассуждения были почерпнуты Б. из книг, так как он читал охотно и много, но характерно, что именно такие мысли привлекали внимание мальчика и юноши. В те же годы юный Пушкин, на лицейской скамье, зачитывался Анакреонтом и легкомысленными французскими поэтами XVIII века. Покинув пажеский корпус, Б. несколько лет жил частью с матерью в Тамбовской губернии, частью у дяди, брата отца, адмирала Богдана Андреевича Б., в Смоленской губернии, в сельце Подвойском. Из школы Б. вынес некоторое знание математики, к которой у него были большие способности и которой он не переставал интересоваться до последних лет жизни. Живя в деревне, Б. начал писать стихи. Раньше, подобно многим другим людям того времени, он охотно писал французские куплеты, не придавая тому никакого значения. От 1817 года до нас дошли уже русские стихи Б., впрочем весьма слабые. Но уже в 1819 году Б. вполне овладел техникой, и его стих стал приобретать то "необщее выражение", которое впоследствии он сам признавал главным достоинством своей поэзии. В деревне дяди Б. нашел небольшое общество молодежи, которая старалась жить весело, и он был увлечен в ее забавы. "Мы здесь проводим время приятно, все поют, смеются", - писал он матери. Но это не мешало ему добавлять: "О счастье

много спорим, но эти споры напоминают споры нищих, рассуждающих о философском камне", и вновь говорит о "мраке, нашем общем отце". В 1819 году Б., по совету родных, поступил рядовым в гвардейский Егерский полк в Петербурге. В это время интерес Б. к литературе настолько определился, что он стал искать знакомства с писателями. Он показал свои стихи Дельвигу, которого они заинтересовали, и который познакомил его с Жуковским, Плетневым, Кюхельбекером и Пушкиным. Влиянию Дельвига надо приписать, что Б. серьезнее стал относиться к своей поэзии и в "служении Музам" увидел новую для себя цель жизни. "Ты дух мой оживил надеждою возвышенной и новой", - писал он позднее Дельвигу. В 1819 году, благодаря содействию Дельвига, стихи Б. появились впервые и в печати. В следующем, 1820 году, Б. был произведен в унтер-офицеры и переведен в Нейшлотский полк, расположенный в Финляндии, в укреплении Кюмени и его окрестностях. Пятилетнее пребывание в Финляндии оставило глубочайшие впечатления в Б. и ярко отразилось на его поэзии. Впечатлениям от "сурового края" обязан он несколькими лучшими своими лирическими стихотворениями ("Финляндия", "Водопад") и прекрасной поэмой "Эда". Первоначально Б. вел в Финляндии жизнь очень уединенную, "тихую, спокойную, размеренную". Все общество его ограничивалось двумя-тремя офицерами, которых он встречал у полкового командира, полковника Лутковского, старинного друга семьи Б. и их соседа по имению, который принял к себе в дом юного унтер-офицера. Впоследствии он сблизился с Н.В. Путятой и А.И. Мухановым, адъютантами финляндского генерал-губернатора, А.А. Закревского. Дружба его с Путятой сохранилась на всю их жизнь. Путята описал внешний облик Б., каким он его увидел в первый раз: "Он был худощав, бледен, и черты его выражали глубокое уныние". Осенью 1824 года, благодаря ходатайству Путяты, Б. получил разрешение приехать в Гельсингфорс и состоять при корпусном штабе генерала Закревского. В Гельсингфорсе Б. ожидала жизнь шумная и беспокойная. К этому периоду его жизни относится начало его увлечения А.Ф. Закревской (женой генерала А.А. Закревского), той самой, которую Пушкин назвал "беззаконной кометой в кругу расчисленном светил", и к которой редко кто приближался без того, чтобы поддаться очарованию ее своеобразной личности. Эта любовь принесла Б. немало мучительных переживаний, отразившихся в таких его стихотворениях, как "Мне с упоением заметным", "Фея", "Нет, обманула вас молва", "Оправдание", "Мы пьем в любви отраву сладкую", "Я безрассуден, и не диво", "Как много ты в немного дней". Впрочем, у Б. страсть всегда уживалась с холодной рассудительностью, и не случайно он одинаково любил математику и поэзию. В одном стихотворении (правда, заимствованном у Парни) он, например, дает совет: "Близ любезной укротим желаний пылких нетерпенье", потому что "мы ими счастию вредим и сокращаем наслажденье". А в письме к Путяте Б. пишет прямо: "Спешу к ней. Ты будешь подозревать, что я несколько увлечен: несколько, правда; но я надеюсь, что первые часы уединения возвратят мне рассудок. Напишу несколько элегий и засну спокойно". Надо, однако, добавить, что сам Б. тут же писал: "Какой несчастный плод преждевременной опытности - сердце, жадное страсти, но уже неспособное предаваться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе беспредельных желаний! Таково положение М. и мое". Из Гельсингфорса Б. должен был вернуться к полку в Кюмень и туда, весной 1825 года, Путята привез ему приказ о производстве его в офицеры. По словам Путяты, это Б. "очень обрадовало и оживило". Вскоре после того Нейшлотский полк был назначен в Петербург держать караулы. В Петербурге Б. возобновил свои литературные знакомства. Осенью того же года Б. возвратился с полком в Кюмень, ездил ненадолго в Гельсингфорс, затем вышел в отставку и переехал в Москву. "Судьбой наложенные цепи упали с рук моих", писал он по этому поводу. В Москве, 9 июня 1826 года, Б. женился на Настасье Львовне Энгельгард; тогда же он поступил на службу в Межевую канцелярию, но скоро вышел в отставку. Еще до женитьбы из Москвы Б. писал

Путьте: "В Финляндии я пережил все, что было живого в моем сердце. Ее живописные, хотя угрюмые горы походили на прежнюю судьбу мою, также угрюмую, но, по крайней мере, довольно обильную в отличительных красках. Судьба, которую я предвижу, будет подобна русским однообразным равнинам..." В значительной степени Б. оказался прав, и его жизнь, после 1826 года, становится однообразной. Его жена не была красива, но отличалась умом ярким и тонким вкусом. Ее непокойный характер причинял много страданий самому Б. и повлиял на то, что многие его друзья от него отделились. В мирной семейной жизни постепенно сгладилось в Б. все, что было в нем буйного, мятежного; он сознавался сам: "Весельчакам я запер дверь, я пресыщен их буйным счастьем, и заменил его теперь пристойным, тихим сладострастьем". Только из немногих стихотворных признаний Б. мы узнаем, что не всегда он мог всей силой своего разума победить свои страсти. По стихотворениям 1835 года мы видим, что в эту пору он пережил какую-то новую любовь, которую называет "омрачением души болезненной своей". Иногда он пытается убедить себя, что остался прежним, восклицая: "Свой бокал я наливаю, наливаю, как наливал!" Замечательно, наконец, стихотворение "Бокал", в котором Б. рассказывает о тех "оргиях", которые он устраивал наедине с самим собой, когда вино вновь будило в нем "откровенья преисподней". Внешняя его жизнь проходила без видимых потрясений. Он жил то в Москве, то в своем имении, в сельце Муранове (неподалеку от Талиц, близ Троицко-Сергиевской лавры), то в Казани, много занимался хозяйством, ездил иногда в Петербург, где в 1839 году познакомился с Лермонтовым, в обществе был ценен как интересный и иногда блестящий собеседник и в тиши работал над своими стихами, придя окончательно к убеждению, что "в свете нет ничего дельнее поэзии". Проводя много времени в Москве, Б. сошелся здесь с кружком московских писателей, с И.В. Киреевским, Языковым, Хомяковым, Соболевским, Павловым. Известность Б., как поэта, началась после издания, в 1826 году, его поэм "Эда" и "Пиры" (одной книжкой, с любопытным предисловием автора) и, в 1827 году, первого собрания лирических стихотворений. В 1828 году появилась поэма "Бал" (вместе с "Графом Нулиным" Пушкина), в 1831 году - "Наложница" ("Цыганка"), в 1835 году - второе издание мелких стихотворений (в двух частях), с портретом. Современная критика отнеслась к стихам Б. довольно поверхностно, и литературные неприятели кружка Пушкина (журнал "Благонамеренный" и другие) довольно усердно нападали на его будто бы преувеличенный "романтизм". Но авторитет самого Пушкина, высоко ценившего дарование Б., был все же так высок, что, несмотря на эти голоса критиков, Б. был общим молчаливым согласием признан одним из лучших поэтов своего времени и стал желанным вкладчиком всех лучших журналов и альманахов. Но Б. писал мало, долго работая над своими стихами и часто коренным образом переделывая уже напечатанные. Будучи истинным поэтом, он вовсе не был литератором; для того, чтобы писать что-либо, кроме стихов, ему нужна была внешняя причина. Так, например, по дружбе к юному А.Н. Муравьеву, он написал прекрасный разбор сборника его стихов "Таврида", доказав, что мог бы стать интереснейшим критиком. Затронутый критикой своей поэмы "Наложница", он написал "антикритику", несколько сухую, но в которой есть весьма замечательные мысли о поэзии и искусстве вообще. Когда, в 1831 году, И. В. Киреевский, с которым Б. сошелся близко, предпринял издание "Европейца", Б. стал писать для него прозой, написав, между прочим, рассказ "Перстень" и готовясь вести в нем полемику с журналами. Когда "Европеец" был запрещен, Б. писал Киреевскому: "Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным". Люди, лично знавшие Б., говорят согласно, что его стихи далеко не вполне "высказывают тот мир изящного, который он носил в глубине души своей". "Излив свою задушевную мысль в дружеском разговоре, живом, разнообразном, невероятно-увлекательном, исполненном счастливых слов и многозначительных мыслей,... Б. часто довольствовался живым

сочувствием своего близкого круга, менее заботясь о возможно-далеких читателях". Так, в сохранившихся письмах Б. рассыпано немало острых критических замечаний о современных ему писателях, - отзывы, которые он никогда не пытался сделать достоянием печати. Очень любопытны, между прочим, замечания Б. о различных произведениях Пушкина, к которому он, когда писал с полной откровенностью, далеко не всегда относился справедливо. Б., конечно, сознавал величие Пушкина, в письме к нему лично льстиво предлагал ему "возвести русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами", но никогда не упускал случая отметить то, что почитал у Пушкина слабым и несовершенным (см., например, отзывы Б. о "Евгении Онегине" и пушкинских сказках в письмах к Киреевскому). Позднейшая критика прямо обвиняла Б. в зависти к Пушкину и высказывала предположение, что Сальери Пушкина списан с Б. Есть основание думать, что в стихотворении "Осень" Б. имел в виду Пушкина, когда говорил о "буйственно несущемся урагане", которому все в природе откликается, сравнивая с ним "глас, пошлый глас, вещатель общих дум", и в противоположность этому "вещателю общих дум" указывал, что "не найдет отзыва тот глагол, что страстное земное перешел". Известие о смерти Пушкина застало Б. в Москве именно в те дни, когда он работал над "Осенью". Б. бросил стихотворение, и оно осталось недовершенным. В 1842 году Б., в то время уже "звезда разрозненной плеяды", издал тоненький сборник своих новых стихов: "Сумерки", посвященный князю П.А. Вяземскому. Это издание доставило Б. немало огорчений. Его обидел вообще тон критиков этой книжки, но особенно статья Белинского. Белинскому показалось, что Б. в своих стихах восстал против науки, против просвещения. Конечно, то было недоразумение.

Так, например, в стихотворении: "Пока человек естества не пытал" Б. только развивал мысль своего юношеского письма: "Не лучше ли быть счастливым невеждою, чем несчастным мудрецом". В поэме "Последний поэт" он протестовал против того материалистического направления, какое начинало определяться тогда (конец 30-х и начало 40-х годов) в европейском обществе, и будущее развитие которого Б. прозорливо угадал. Он протестовал против исключительного стремления к "насущному и полезному", а никак не против познания вообще, интересы которого именно Б. были всегда близки и дороги. Б. не стал возражать на критику Белинского, но памятником его настроения той поры осталось замечательное стихотворение "На посев леса". Б. говорит в нем, что он "летел душой к новым племенам" (т. е. к молодым поколениям), что он "всех чувств благих подавал им голос", но не получил от них ответа. Едва ли не прямо Белинского имеют в виду слова, что тот, "кого измял души моей порыв, тот вызвать мог меня на бой кровавый" (т. е. тот мог стремиться опровергнуть именно мои, Б., идеи, не подменяя их мнимой враждой к науке); но, по мнению Б., этот противник предпочел "изрыть под ним сокрытый ров" (т. е. бороться с ним несправедливыми путями). Б. даже заканчивает стихи угрозой вовсе после того отказаться от поэзии. "Отвергнул струны я", - говорит он. Но такие обеты, если и даются поэтами, не исполняются ими никогда. Осенью 1843 года Б. осуществил свое давнее желание - предпринял путешествие за границу. Зимние месяцы 1843 - 44 годов он провел в Париже, где познакомился со многими французскими писателями (А. де Виньи, Мериме, оба Тьерри, М. Шевалье, Ламартин, Ш. Нодье и другими). Чтобы познакомить французов со своей поэзией, Б. перевел несколько своих стихотворений на французский язык. Весной 1844 года Б. отправился через Марсель морем в Неаполь. Перед отъездом из Парижа Б. чувствовал себя нездоровым, и врачи предостерегали его от влияния знойного климата южной Италии. Едва Баратынские прибыли в Неаполь, как с Н. Л. Баратынской сделался один из тех болезненных припадков (вероятно, нервных), которые причиняли столько беспокойства ее мужу и всем окружающим. Это так подействовало на Б., что у него внезапно усилились головные боли, которыми он часто страдал, и на другой день, 29 июня (11 июля) 1844 года, он

скоропостижно скончался. Тело его перевезено в Петербург и погребено в Александро-Невском монастыре, на Лазаревском кладбище. - Особенности поэзии Б. всего лучше определил Пушкин, сказав: "Он у нас оригинален - ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко". "Поэзия мысли" - вот, действительно, самое общее определение, которое можно дать поэзии Б. Сам он даже считал это свойство отличительной чертой поэзии вообще, жалуясь: "Все мысль да мысль, художник бедный слова!" В своих ранних стихах Б. развивает то пессимистическое мирозерцание, которое сложилось у него с детских лет. Его основное положение, что "в сей жизни" нельзя найти "блаженство прямое": "Небесные боги не делятся им с земными детьми Прометея". Согласно с этим в жизни Б. видит две доли: "или надежду и волнение (т. е. мучительные беспокойства), или безнадежность и покой" (успокоение). Поэтому Истина предлагает ему научить его, страстного, "отрадному бесстрастью". Поэтому же он пишет гимн смерти, называет ее также "отрадной", признает бесчувствие мертвых "блаженным" и прославляет, наконец, "Последнюю смерть", которая успокоит все бытие. Развивая эти идеи, Б. постепенно пришел к выводу о равноценности всех проявлений земной жизни. Ему начинает казаться, что не только "и веселью и печали" дали боги "одинакие крыле" (двойственное число = крылья), но что равноправны добро и зло. Последнее выражено им в стихотворении "Благословен святое возвестивший", где этому возвестителю святого противопоставляется "какой-нибудь неправедный" (т. е. человек), обнажающий перед нами изгиб сердец людских, ибо "две области, сияния и тьмы, исследовать равно стремимся мы". Эти мысли выражены в стихах второго периода деятельности Б. и в его замечательных поэмах. Характерно, что герои поэм Б. - почти исключительно люди "падшие"; такова "добренькая Эда", отдавшаяся соблазнителю-офицеру; такова Нина ("Бал"), переходившая от одного любовника к другому; таков Елецкий ("Цыганка"), составивший себе "несчастный кодекс развратных, своевольных правил", и особенно его подруга "наложница"-цыганка. Найти искры живой души в падших, показать, что они способны на благородные чувства, сделать их привлекательными для читателя, - такова задача, которую ставил себе Б. в своих поэмах. Последний период деятельности Б. характеризуется его обращением к религии. Еще в одном из ранних стихотворений, в полном согласии со своим мировоззрением, он восклицал: "О человек! уверься, наконец, не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!" Но если "всезнанье" недоступно, стоит ли искать "полу-знанья"? Из этого вопроса возникает у Б. скептическое отношение к человеческим истинам; ему начинает казаться, что явления юдольного мира уже "все ведомы", что вся человеческая мудрость может открыть лишь то, что давно заключено в "точном смысле народной поговорки". Такой круг идей привел Б. к "оправданию Промысла"; он учит, что в нашей жизни лишь тот "невредим", кто пятой оперся "на живую веру"; он пишет молитву, в которой молит Бога подать ему силы на его "строгий рай"; наконец, в одном из последних стихотворений, написанных во время переезда из Марсея в Неаполь, многозначительно замечает: "Много мятежных решил я вопросов, прежде чем руки марсельских матросов подняли якорь, надежды символ". Однако нам не пришлось узнать, чем разрешилось бы для Б. это "последнее вихревертенье" дум и чувств: неожиданная смерть не дала ему довершить полного развития его поэзии. Что касается формы стихов Б., то, при всем совершенстве отделки, она страдает искусственностью. Язык Б. не прост, он любит странные выражения, охотно употребляет славянизмы и неологизмы в архаическом духе, так что о значении иных выражений Б. приходится догадываться ("внутренней своей вовеки ты не передашь земному звуку", т. е. словами не расскажешь глубин души; поэт - "часть на пире неосязаемых властей", т. е. в мире мечты, и т. п.). Тон Б. почти всегда приподнят, иногда высокопарен. Особенное затруднение представляет то причудливое расположение слов, которое почему-то нравилось Б. (он писал, например:

*"Предрассудок - он обломок древней правды, храм упал, но руин его потомок языка не разгадал", т. е. - потомок не разгадал языка его руин). Наконец, затрудняет и та краткость, тот крайний лаконизм речи, к которому стремился Б. (он говорит, например, о небесах "беспредельных, скорби тесных"). Однако, если освоиться с этими особенностями поэзии Б., если внимательно вникнуть в склад его речи, открывается меткость его выражений, точность его эпитетов, энергия его сжатых фраз. У Б. мало стихотворений, пленяющих музыкой стиха; чтобы оценить его музу, надо его стихи не только почувствовать, но и понять; к его поэзии применимо то, что князь П.А. Вяземский сказал о нем как о личности: "Нужно допрашивать, так сказать, буравить этот подспудный родник, чтобы добыть из него чистую и светлую струю". Кроме тех изданий, в которых стихи Б. появились при его жизни (эти издания указаны выше), его сочинения были изданы в 1869 году (Казань), 1883 (М.) и 1884 (Казань). Лучшие из изданий - 1869 и 1884 годов, так как в них собраны чрезвычайно важные варианты стихотворений Б. Некоторые стихотворения, не вошедшие в эти издания, перепечатаны в издании "Севера", в 1894 году (СПб.); несколько новых стихов, на основании рукописей, дано в издании 1900 года (Казань). Еще некоторые стихотворения и прозаические статьи, остававшиеся не перепечатанными в собраниях сочинений, даны мною в "Русском Архиве" 1900 года. В настоящее время в издании "Академической библиотеки" готовится новое издание сочинений Б., которое должно собрать все, им написанное. О Баратынском см. заметки Пушкина, Плетнева, И. Киреевского, князя П.А. Вяземского, Галахова ("Отечественные Записки", 1844 год), Лонгинова, (библиография, "Русский Архив", 1864 год), С.А. Андреевского ("Философские течения русской поэзии", СПб., 1896 год, и "Литературные Чтения"), Н. Котляревского, В. Брюсова ("Русский Архив", 1901 - 1903 годов), С. Венгерова ("Критико-биографический Словарь", т. II), Белинского (соч. под редакцией Венгерова, т. VII, примечания редактора, стр. 626 - 637).*

## Пиры

Друзья мои! я видел свет,  
На всё взглянул я верным оком.  
Душа полна была сует,  
И долго плыл я общим током...  
Безумству долг мой заплачён,  
Мне что-то взоры прояснило;  
Но, как премудрый Соломон,  
Я не скажу: всё в мире сон!  
Не всё мне в мире изменило:  
Бывал обманут сердцем я,  
Бывал обманут я рассудком,  
Но никогда ещё, друзья,  
Обманут не был я желудком.

Признаться каждый должен в том,  
Любовник, иль поэт, иль воин, -  
Лишь беззаботный гастроном  
Названья мудрого достоин.  
Хвала и честь его уму!  
Дарами, нужными ему,  
Земля усеяна роскошно.  
Пускай герою моему,  
Пускай, друзья, порою тошно,  
Зато не грустно: горя чужд

Среди веселостей вседневных,  
Не знает он душевных нужд,  
Не знает он и мук душевных.

Трудясь над смесью рифм и слов,  
Поэты наши чуть не плачут;  
Своих почтительных рабов  
Порой красавицы дурачат;  
Иной храбрец, в отцовский дом  
Являсь уродом с поля славы,  
Подозревал себя глупцом, -  
О бог стола, о добрый Ком,  
В твоих утехах нет отравы!  
Прекрасно лирою своей  
Добиться памяти людей,  
Служить любви ещё прекрасней,  
Приятно драться, но, ей-ей,  
Друзья, обедать безопасней!

Как не любить родной Москвы!  
Но в ней не град первопрестольный,  
Не золочёные главы,  
Не гул потехи колокольной,  
Не сплетни вестницы-молвы  
Мой ум пленили своевольный.  
Я в ней люблю весельчаков,  
Люблю роскошное довольство  
Их продолжительных пиров,  
Богатой знати хлебосољство  
И дарованья поваров.  
Там прямо веселы беседы;  
Вполне уважен хлебосол;  
Вполне торжественны обеды;  
Вполне богат и лаком стол.  
Уж он накрыт, уж он рядами  
Несчётных блюд отягощён  
И беззаботными гостями  
С благоговеньем окружён.  
Ещё не сели; всё в молчанье;  
И каждый гость вблизи стола  
С весёлой ясностью чела  
Стоит в роскошном ожиданье,  
И сквозь прозрачный, лёгкий пар  
Сияют лакомые блюда,  
Златых плодов, десерта груды...  
Зачем удел мой слабый дар!  
Но так весной ряды курганов  
При пробуждённых небесах  
Сияют в пурпурных лучах  
Под дымом утренних туманов.  
Садятся гости. Граф и князь -  
В застольном деле все удалы,

И осушают, не ленясь,  
Свои широкие бокалы;  
Они веселье в сердце льют,  
Они смягчают злые толки;  
Друзья мои, где гости пьют,  
Там речи вздорны, но не колки.  
И начались чудеса;  
Смешались быстро голоса;  
Собрание глухо зашумело;  
Своих собак, своих друзей,  
Певцов, героев хвалят смело;  
Вино разнежило гостей  
И даже ум их разогрело.  
Тут всё торжественно встаёт,  
И каждый гость, как муж толковый,  
Узнать в гостиную идёт,  
Чему смеялся он в столовой.

Меж тем одним ли богачам  
Доступны праздничные чаши?  
Немудрены пирушки наши,  
Но не уступят их пирам.  
В углу безвестном Петрограда,  
В тени деревьев, во мраке сада,  
Тот домик помните ль, друзья,  
Где наша верная семья,  
Оставя скуку за порогом,  
Соединялась в шумный круг  
И без чинов с румяным богом  
Делила радостный досуг?  
Вино лилось, вино сверкало;  
Сверкали блески острых слов,  
И веки сердце проживало  
В немного пламенных часов.  
Стол покрывала ткань простая;  
Не восхищались на нем  
Мы ни фарфорами Китая,  
Ни драгоценным хрусталем;  
И между тем сынам веселья  
В стекло простое бог похмелья  
Лил через край, друзья мои,  
Свое любимое Аи.  
Его звездающаяся влага  
Недаром взоры веселит:  
В ней укрывается отвага,  
Она свободою кипит,  
Как пылкий ум, не терпит плена,  
Рвет пробку резвою волной,  
И брызжет радостная пена,  
Подобье жизни молодой.  
Мы в ней заботы потопляли  
И средь восторженных затей

"Певцы пируют! - восклицали, -  
Слепая чернь, благоговей!"  
Любви слепой, любви безумной  
Тоску в душе моей тая,  
Насилу, милые друзья,  
Делить восторг беседы шумной  
Тогда осмеливался я.  
"Что потакать мечте унылой, -  
Кричали вы. - Смелее пей!  
Развеселись, товарищ милой,  
Для нас живи, забудь о ней!"  
Вздыхнув, рассеянно послушной,  
Я пил с улыбкой равнодушной;  
Светлела мрачная мечта,  
Толпой скрывались печали,  
И задрожавшие уста  
"Бог с ней!" невнятно лепетали.

И где ж изменница-любовь?  
Ах, в ней и грусть - очарованье!  
Я испытать желал бы вновь  
Ее знакомое страданье!  
И где ж вы, резвые друзья,  
Вы, кем жила душа моя!  
Разлучены судьбою строгой, -  
И каждый с ропотом вздохнул,  
И брату руку протянул,  
И вдаль побрел своей дорогой;  
И каждый в горести немой,  
Быть может, праздною мечтой  
Теперь бывшее пролетает  
Или за трапезой чужой  
Свои пиры воспоминает.  
О, если б, теплою мольбой  
Обезоружив гнев судьбины,  
Перенестись от скал чужбины  
Мне можно было в край родной!  
(Мечтать позволено поэту.)  
У вод домашнего ручья  
Друзей, разбросанных по свету,  
Соединил бы снова я.  
Дубравой темной осененной,  
Родной отцам моих отцов,  
Мой дом, свидетель двух веков,  
Поникнул кровлею смиренной.  
За много лет до наших дней  
Там в чаши чашами стучали,  
Любили пламенно друзей  
И с ними шумно пировали...  
Мы, те же сердцем в век иной,  
Сберемтесь дружеской толпой  
Под мирный кров домашней сени:

Ты, верный мне, ты, Д<ельви>г мой,  
Мой брат по музам и по лени,  
Ты, П<ушки>н наш, кому дано  
Петь и героев, и вино,  
И страсти молодости пылкой,  
Дано с проказливым умом  
Быть сердца верным знатоком  
И лучшим гостем за бутылкой.  
Вы все, делившие со мной  
И наслажденья и мечтанья,  
О, поспешите в домик мой  
На сладкий пир, на пир свиданья!

Слепой владычицей сует  
От колыбели позабытый,  
Чем угостит анахорет,  
В смиренной хижине укрытый?  
Его пустынный обед  
Не будет лакомый, но сытый.  
Веселый будет ли, друзья?  
Со дня разлуки, знаю я,  
И дни и годы пролетели,  
И разгадать у бытия  
Мы много тайного успели;  
Что ни ласкало в старину,  
Что прежде сердцем ни владело -  
Подобно утреннему сну,  
Все изменило, улетело!  
Увы! На память нам придут  
Те песни за веселой чашей,  
Что на Парнасе берегут  
Преданья молодости нашей:  
Собранье пламенных замет  
Богатой жизни юных лет;  
Плоды счастливого забвенья,  
Где воплотить умел поэт  
Свои живые сновиденья...  
Не обрести замены им!  
Чему же веру мы дадим?  
Пирам! В безжиненные лета  
Душа остылая согрета  
Их утешением живым.  
Пускай навек исчезла младость -  
Пируйте, други: стуком чаш  
Авось приманенная радость  
Еще заглянет в угол наш.

#### ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ

Век шествует путём своим железным;  
В сердцах корысть, и общая мечта  
Час от часу насущным и полезным  
Отчетливей, бесстыдней занята.

Исчезнули при свете просвещенья  
Поэзии ребяческие сны,  
И не о ней хлопочут поколения,  
Промышленным заботам преданы.

Для ликующей свободы  
Вновь Эллада ожила,  
Собрала свои народы  
И столицы подняла;  
В ней опять цветут науки,  
Носит понт торговли груз  
И не слышны лиры звуки  
В первобытном рае муз!

Блестит зима дряхлеющего мира,  
Блестит! Суров и бледен человек;  
Но зелены в отечестве Омира  
Холмы, леса, берега лазурных рек.  
Цветёт Парнас! Пред ним, как в оны годы,  
Кастальский ключ живой струёю бьет;  
Нежданный сын последних сил природы,  
Возник поэт: идет он и поет.

Воспевает, простодушный,  
Он любовь и красоту,  
И науки, им ослушной,  
Пустоту и суету:  
Мимолетные страданья  
Легкомыслием целя,  
Лучше, смертный, в дни незнанья  
Радость чувствует земля.

Поклонникам Урании холодной  
Поёт, увы! он благодать страстей;  
Как пажити Эол бурнопогодный,  
Плодотворят они сердца людей;  
Живительным дыханием развита,  
Фантазия подьемлется от них,  
Как некогда возникла Афродита  
Из пенистой пучины вод морских.

И зачем не предадимся  
Снам улыбчивым своим?  
Бодрым сердцем покоримся  
Думам робким, а не им!  
Верьте сладким убеждениям  
Вас ласкающих очес  
И отрадным откровеньям  
Сострадательных небес!

Суровый смех ему ответом; персты  
Он на струнах своих остановил,

Сомкнул уста вещать полуотверсты,  
Но гордые главы не преклонил:  
Стопы свои он в мыслях направляет  
В немую глушь, в безлюдный край, но свет  
Уж праздного вертепа не являет,  
И на земле уединенья нет!

Человеку непокорно  
Море синее одно:  
И свободно, и просторно,  
И приветливо оно;  
И лица не изменило  
С дня, в который Аполлон  
Поднял вечное светило  
В первый раз на небосклон.

Оно шумит перед скалой Левкада.  
На ней певец, мятежной думы полн,  
Стоит... в очах блеснула вдруг отрада:  
Сия скала... тень Сафо!.. песни волн...  
Где погребла любовница Фаона  
Отверженной любви несчастный жар,  
Там погребёт питомец Аполлона  
Свои мечты, свой бесполезный дар!

И по-прежнему блистает  
Хладной роскошью свет:  
Серебрит и позлащает  
Свой безжизненный скелет;  
Но в смущение приводит  
Человека вал морской,  
И от шумных вод отходит  
Он с тоскующей душой!

1835

Предрассудок! он обломок  
Давней правды. Храм упал;  
А руин его потомок  
Языка не разгадал.  
Гонит в нём наш век надменный,  
Не узнав его лица,  
Нашей правды современной  
Дряхлостного отца.  
Воздержи младую силу!  
Дней его не возмущай,  
Но пристойную могилу,  
Как уснёт он, предку дай.

1841

Череп

Усопший брат! кто сон твой возмутил?  
Кто пренебрѣг святынею могильной?  
В разрытый дом к тебе я нисходил,  
Я в руки брал твой череп жёлтый, пыльный!

Ещё носил волос остатки он;  
Я зрел на нём ход постепенный тленья.  
Ужасный вид! Как сильно поражѣн  
Им мыслящий наследник разрушенья!

Со мной толпа безумцев молодых  
Над ямою безумно хохотала;  
Когда б тогда, когда б в руках моих  
Глава твоя внезапно провещала!

Когда б она цветущим, пылким нам  
И каждый час грозимым смертным часом  
Все истины, известные гробам,  
Произнесла своим бесстрастным гласом!

Что говорю? Стократно благ закон,  
Молчаньем ей уста запечатлевший;  
Обычай прав, усопших важный сон  
Нам почитать издревле повелевший.

Живи живой, спокойно тлей мертвец!  
Всесильного ничтожное созданье,  
О человек! Уверься наконец:  
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!

Нам надобны и страсти и мечты,  
В них бытия условие и пища:  
Не подчинишь одним законам ты  
И света шум и тишину кладбища!

Природных чувств мудрец не заглушит  
И от гробов ответа не получит:  
Пусть радости живущим жизнь дарит,  
А смерть сама их умереть научит.

## Пушкин А.С.

### **Об авторе:**

#### **Гершензон. Мудрость Пушкина**

*Русская критика всегда твердо знала, что поэты не только услаждают, но и учат. И в поэзии Пушкина, помимо ее формальных достоинств — необычайной художественности, правдивости, народности и пр., — критика никогда не забывала отмечать еще иную ценность: ее философский смысл. Было ясно, что в поэзии Пушкина выразилось его мировоззрение, что оно с помощью красоты глубоко внедряется в читателя, и следовательно представляет могучую воспитательную силу. Естественно, что этот предмет занял видное место в критической литературе. Как же изображали до сих пор мировоззрение Пушкина?*

Белинский писал: «Натура Пушкина (и в этом случае самое верное свидетельство есть его поэзия) была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкин не знал мук и блаженства, какие бывают следствием страстно-деятельного (а не только созерцательного) увлечения живою, могучею мыслию, в жертву которой приносится жизнь и талант. Он не принадлежал исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине; в сфере своего поэтического мирозерцания он, как художник по преимуществу, был гражданин вселенной, и в самой истории, так же как и в природе, видел только мотивы для своих поэтических вдохновений, материалы для своих творческих концепций... Лирические произведения Пушкина в особенности подтверждают нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее в их основании, всегда так тихо и кротко, несмотря на его глубину, и вместе с тем так человечно, гуманно!.. Он ничего не отрицает, ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением. Самая грусть его, несмотря на ее глубину, как-то необыкновенно светла и прозрачна; она умиряет муки души и целит раны сердца. Общим колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность». Далее Белинский описывает чувство Пушкина, как неизменно «благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное», и заключает отсюда: «в этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых людей обоего пола. Ни один из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства».

Достоевский в своей знаменитой речи представил Пушкина отчасти бессознательным выразителем русского народного гения, поскольку он в своем творчестве проявил присущие русскому народу всемирную отзывчивость, способность к всечеловеческому единению и братской любви. Сознательную же его заслугу Достоевский видит в двойственной проповеди, обращенной к русскому обществу; именно, он-де первый, отрицательными типами Алеко и Онегина, указал на болезнь русского интеллигентного общества, оторванного от народа, и первый, положительными типами Татьяны, Пимена и других, взятыми из народного духа, указал обществу путь исцеления: обращение к народной правде. Правду эту, проповеданную Пушкиным, Достоевский выражает так: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной ниве... Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победить себя, усмиришь себя, — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело» и т. д.

Пытин изображал Пушкина «поэтом-гуманистом»<sup>1</sup>. «Пушкин, как художник, был носителем идеи о достоинстве человеческой личности, проникнут был стремлением к правде, глубоким гуманным чувством, убеждением в необходимости просвещения и в свободном действии человеческой мысли; наконец, он проникнут был горячей любовью к своему народу, к его славе и величию». Словом, «он стремился служить просвещению, добру и правде». И общественное значение его поэзии весьма велико: «как прелесть стихов, то есть художественная сторона его произведений, впервые приобщала массу общества к наслаждению чистой поэзией и уже тем оказывала великую услугу внутреннему развитию общества, так и его высокие нравственные идеи, идеи чистой человечности, благотворно влияли на воспитание общества».

Вл. Соловьев 2 утверждает, что Пушкин, более всего дорожа в своем творчестве чистой поэзией, тем не менее признавал за собою и нравственное воздействие на общество, ибо «и чистая поэзия приносит истинную пользу, хотя не преднамеренно». Вл. Соловьев вкладывает в уста Пушкина такие слова, обращенные к толпе: «То добро, которое вы цените, — оно есть и в моем поэтическом запасе», и под добром Соловьев понимает здесь: пробуждение добрых чувств и проповедь милосердия к падающим.

Д. Н. Овсянко-Куликовский<sup>3</sup> признает Пушкина чистым художником («гений по преимуществу объективный») и не приписывает ему никакой активной проповеди, о мировоззрении же его говорит следующее: «Что касается общего характера и настроения лирики Пушкина, то в этом отношении нужно различать два периода: в первом, закончившемся во второй половине 20-х годов, лирика Пушкина характеризуется радостною отзывчивостью на все «впечатления бытия», светлым, оптимистическим воззрением на мир и человечество, гармоническою уравновешенностью поэтических дум и чувств. Лишь изредка проскальзывали у него скорбные ноты грусти, уныния, разочарования, чтобы сейчас же умолкнуть и утонуть в яркой жизнерадостности его поэтического мирозерцания. Во втором периоде, начинающемся в половине 20-х годов, эти ноты появляются чаще и звучат громче... Великий поэт был утомлен жизнью, нашей русской дореформенною жизнью, и рвался «на волю», понимая под «волею» личную независимость, свободу от светских обязательств, от дрязг жизни, от всех удручающих впечатлений действительности. Он жаждал «покоя», внутреннего мира, — и в этом стремлении он доходил до резкого протеста против обязательств, какие предъявляют человеку общество, среда, «свет», публика, государство. Он переживал полосу резкого, раздражительного, капризно-обидчивого индивидуализма. Но несомненно, что это не было у него принципом, не входило в систему его убеждений, это было только настроением... Ссора поэта с толпою была лишь эпизодом в истории его разлада с действительностью, одним из выражений — и притом наименее удачных — той душевной отчужденности от всего окружающего, которая овладевала гением Пушкина»...

Таковы наиболее авторитетные и влиятельные суждения о поэзии Пушкина за 70 лет. Как ни велики разногласия между ними, в одном они сходятся (и этот приговор есть общий приговор минувших поколений, он тысячеголосым эхом перекликается во всей литературе о Пушкине): вольно или неволью,

Пушкин деятельно служил так называемому общественному прогрессу; несмотря на все уклонения, общий итог его творчества должен быть признан безусловно положительным в смысле соответствия основным задачам культуры, так как его поэзия своей формой и содержанием сеет в душах семена правды, любви, милосердия, чуткости к красоте и добру. Одним словом, человечество строит на земле величественный храм разумного и любовного общежития, и Пушкин был и остается одним из полезнейших участников этой зиждательной работы.

Было бы праздным делом разбирать и оспаривать доводы, на которые опирается эта оценка. Ежели мы, нынешнее поколение, видим другое в поэзии Пушкина, не лучше ли прямо высказать наше новое понимание? Та оценка была, без сомнения, вполне добросовестна; но наше право и наша обязанность — прочитать Пушкина собственными глазами и в свете нашего опыта определить смысл и ценность его поэзии. Наши символисты не правы, когда утверждают, что искусство бывает двух родов: символическое, т. е. открывающее тайны, — и только пленительное. Нет: всякое искусство открывает тайны, и всякое в своем совершенстве непременно пленительно.

Дело художника — выразить свое видение мира, и другой цели искусство не имеет; но таков таинственный закон искусства, что видение во вне выражается тем гармоничнее, чем оно само в себе своеобразнее и глубже. Здесь, в отличие от мира вещественного, внешняя прелесть есть безошибочный признак внутренней правды и силы. Пленительность искусства — та гладкая, блестящая, переливающая радугой ледяная кора, которою как бы остывает огненная лава художнической души, соприкасаясь с наружным воздухом, с явью. Или иначе: певучесть формы есть плотское проявление того самого гармонического ритма, который в духе образует видение. Но как бы ни описывать это явление, оно навсегда останется непостижимым. Ясно только одно: чем сильнее кипение, тем блестящее и радужнее форма.

*Эта внешняя пленительность искусства необыкновенно важна: она играет в духовном мире ту же роль, какую в растительном царстве играет яркая окраска цветка, манящая насекомых, которым предназначено разносить цветочную пыль. Певучесть формы привлекает инстинктивное внимание людей; еще не зная, какая ценность скрыта в художественном создании, люди безотчетно влекутся к нему и воспринимают его ради его внешних чар. Но вместе с тем блестящая ледяная кора скрывает от них глубину, делает ее недоступной; в этом — мудрая хитрость природы. Красота — приманка, но красота — и преграда. Прекрасная форма искусства всех манит явным соблазном, чтобы весь народ сбегался глядеть; и поистине красота никого не обманет; но слабое внимание она поглощает целиком, для слабого взора она непрозрачна: он осужден тешиться ею одной, — и разве это малая награда? Лишь взор напряженный и острый проникает в нее и видит глубины, тем глубже, чем сам он острее. Природа оберегает малых детей своих, как щенят, благодетельной слепотою. Искусство дает каждому вкушать по силам его, — одному всю свою истину, потому что он созрел, другому часть, а третьему показывает лишь блеск ее, прелесть формы, для того, чтобы огнепалая истина, войдя в неокрепшую душу, не обожгла ее смертельно и не разрушила ее молодых тканей.*

*Так и поэзия Пушкина таит в себе глубокие откровения, но толпа легко скользит по ней, радуясь ее гладкости и блеску, упиваясь без мысли музыкой стихов, четкостью и красочностью образов. Только теперь, чрез столько лет, мы начинаем видеть эти глубины подо льдом и учимся познавать мудрость Пушкина сквозь ослепительное сверкание его красоты.*

*В науке разум познает лишь отдельные ряды явлений, как разделены наши внешние органы чувств; но есть у человека и другое знание, целостное, потому что целостна самая личность его. И это высшее знание присуще всем без изъятия, во всех полное и в каждом иное; это целостное видение мира несознаваемо-реально в каждой душе и властно определяет ее бытие в желаниях и оценках. Оно также — плод опыта, и обладает всей уверенностью опытного знания. Между людьми нет ни одного, кто не носил бы в себе своего, беспримерного, неповторимого видения вселенной, как бы тайнописи вещей, которая, констатируя сущее, из него же узаконяет долженствование. И не знаем, что оно есть в нас, не умеем видеть, как оно чудным узором выступает в наших разрозненных суждениях и поступках; лишь изредка и на мгновение озарит человека его личная истина, горящая в нем потаенно, и снова пропадет в глубине. Только избранныкам дано длительно созерцать свое видение, хотя бы не полностью, в обрывках целого; и это зрелище опьяняет их такой радостью, что они как бы в бреду спешат поведать о нем всему свету. Оно неизобразимо в понятиях; о нем можно рассказать только бессвязно, уподоблениями, образами. И Пушкин в образах передал нам свое знание; в образах оно тепло укрыто и приятно на вид; я же вынимаю его из образов, и знаю, что, вынесенное на дневной свет, оно покажется странным, а может быть и невероятным. Пушкин был европеец по воспитанию и привычкам, образованный и светский человек 19-го века. И всюду, где он высказывал свои сознательные мнения, мы узнаем в них просвещенный, рационально-мыслящий ум. В идеях Пушкин — наш ровесник, плоть от плоти современной культуры. Но странно: творя, он точно преображается; в его знакомом, европейском лице проступают пыльные морщины Агасфера, из глаз смотрит тяжелая мудрость тысячелетий, словно он пережил все века и вынес из них уверенное знание о тайнах. В своей поэзии он мертв для современности. Что ему дневные страсти и страдания людей, волнения народов? Все, что случается, случалось всегда и будет повторяться вечно; меняются радужные формы, но сущность остается та же; от века низменны мир и человек. В несметно-разнообразных явлениях жизни все вновь и вновь осуществляются немногие закономерности, с виду такие простые, — повторяются*

извечные были; и человек знает это, давно разгадал однообразие и безысходность своих судеб, и с незапамятных времен как бы сам себе неустанно твердит правду роковых определений. Эту древнюю правду носит в себе Пушкин; эти немногие повторные были он видит в событиях дня. Он беспримерно индивидуален в своем созерцании, и однако чрез его мышление течет поток ветхозаветного опыта.

Пушкин — язычник и фаталист. Его известное признание, что он склоняется к атеизму, надо понимать не в том смысле, будто в такой-то момент своей жизни он сознательно отрекся от веры в Бога. Нет, он таким родился; он просто древнее единобожия и всякой положительной религии, он как бы сверстник охотникам Месопотамии или пастухам Ирана. В его духе еще только накоплен материал, из которого народы позднее, в долгом развитии, выкуют свои верования и культы. Этот материал, накопленный в нем, представляет собою несколько безотчетных и неоспоримых уверенностей, которые логически связаны между собою словно паутиными нитями и образуют своего рода систему.

Самый общий и основной догмат Пушкина, определяющий все его понимание, есть уверенность, что бытие является в двух видах: как полнота и как неполнота, ущербность. И он думал, вполне последовательно, что полнота, как внутренне-насыщенная, пребывает в невозмутимом покое, тогда как ущербное непрестанно ищет, рыщет. Ущербное вечно терзаемо голодом, и оттого всегда стремится и движется; оно одно в мире действует.

Эта основная мысль Пушкина представляла как бы канон, которому неизменно, помимо его воли, подчинялось его художественное созерцание. Всюду, где он изображал совершенство, он показывал его бесстрастным, пассивным, неподвижным. Таким изображен райский дух в стихотворении «Ангел»: он только есть, но абсолютно недвижим, даже не смотрит, потому что и взгляд — уже действие: он в дверях Эдема сияет поникшею главой<sup>4</sup>. Летает, смотрит и говорит, движимый внутренней тревогой, демон, олицетворение неполноты. Если бы спросить Пушкина, что же такое Бог? — он должен был бы ответить: Бог — на последней ступени, выше ангелов, потому что ангелам еще присуще бытие, которое есть все же наименьшая действительность; Бог — абсолютное небытие. Рисуя совершенную красоту, Пушкин неизменно скажет: «все в ней гармония», и представит ее в состоянии полного покоя: «Она покоится стыдливо в красе торжественной своей». Так же изобразит он и Марию в «Бахчисарайском фонтане»; он показывает ее и нам, и Зареме спящую: она «покоилась», «казалось, ангел почивал», и пробужденная Заремой, она почти не смотрит, не слышит, не говорит; она — ангельской природы. Но действует пылко, крадется в ночи, и смотрит, и грозит — волнуемая страстью Зарема. В ней нет самобытной полноты, ей нужна для завершенности любовь Гирея. Бездействен Моцарт, исполненный небесных сил, и ничего не жаждет на земле, но действовал всю жизнь и пред нами действует, убивает Моцарта, Сальери, которому дан неполный дар, более гнетущий, чем ничего. Поэтому и Татьяна на высоте своей представлена в состоянии покоя. Каковы бы ни были мотивы, побудившие Пушкина выдать ее замуж помимо ее воли и вложить в ее уста слова отречения, — несомненно, тайным фокусом всех его соображений был предносившийся ему зрительный образ Татьяны. Весь роман есть собственно история двух встреч Татьяны и Онегина — в саду и в гостиной. В молодости ущербная Татьяна вспыхнула страстью, и в страсти действовала; теперь она созрела до полноты и бездействия. В представлении

Пушкина активность помрачила бы ее идеальный облик; решишь она действовать, — оставить мужа, и пр. — она изменила бы своей природе. В полном расцвете своем Татьяна должна была явиться бездейственной (и Пушкин в конце поэмы интуитивно все вновь и вновь подчеркивает ее безмятежность, «покой») — как Онегин, напротив, должен был явиться алчущим и страстным, ибо только так вполне проявлена их

противоположная сущность. И оттого же, наконец, по мысли Пушкина, «гений и злодейство — две вещи несовместные», потому что гений — полнота, т. е. бездейственность, а злодейство как раз — бешенство действия, не знающее никаких границ, рожденное последним голодом.

Что же это? Значит в Пушкине ожил древний дуализм Востока, и опять он делит людей на детей Ормузда и детей Аримана? Но ведь с тех пор человек увидел над двойственностью первоначального опыта небесный купол и постиг все сущее как единство в Боге; и ведь прозвучала же в мире весть о спасении, указавшая грешной душе в ней самой открытую дверь и лестницу для восхождения в совершенство. — Но Пушкин ничего этого не знает. Для него полнота и ущерб — два вечных начала, две необратимые категории. Он верит, что полнота — дар неба и не стяжается усилиями; ущербное бытие обречено неустанно алкать и действовать, но оно никогда не наполнится по воле своей.

Пушкин многократно, в разных видах, изображал встречу неполноты с совершенством. Самая мысль сводить их лицом к лицу показывает, что он знал между ними какие-то отношения. Я остановлюсь на трех таких встречах. Эти три рассказа помогут нам яснее уразуметь его свидетельство. Именно, он утверждает, что полнота излучает некий свет, и что ущербное восприимчиво к этим лучам. Отсюда ясно, во-первых, что полнота, по мысли Пушкина, не совершенно пассивна; она не действует только из своей индивидуальной воли, у нее такой воли вовсе нет, но самое ее бытие есть проявление и действие высшей силы. Во-вторых, и неполное не безусловно замкнуто: оно не может не раскрываться, когда его касается сияние полноты, не может не принимать в себя ее лучей. И вот Пушкин рисует три таких встречи. Первая — в стихотворении «Ангел»: демон, глядя на ангела, впервые познает жар умиления. Это — наилучшая встреча; обаяние совершенства взволновало демона, но его волнение разрешается само в себе, не переходит в действие, и бездействием демон на мгновение приобщен к ангельскому бытию. Умиление благочестиво и мудро, ибо оно утверждает полноту, как высшую себя, и не притязает смешаться с нею, что и невозможно. Вторая встреча — в последней песне «Онегина». В окончательной зрелости своей Татьяна и Онегин противостоят друг другу, как ангел и демон на земле, и Онегин, терзаемый своей неполнотой, гонимый ею по свету, — как демон, летающий над адской бездной, — Онегин в созерцании Пушкина неизбежно уязвлен обаянием Татьяны. В нем загорается чувство, как в демоне, но иное; он действует, — всюду ищет Татьяну, пишет ей, молит о любви; его чувство — не безгрешное умиление демона: его чувство активно, т. е. причастно несовершенству. Это худшая встреча. Любовь кощунственна и близорука: она мнит свое несовершенное бытие вполне однородным с полнотою и оттого посягает на слияние с нею, что невозможно; и действуя с целью осуществить свой кощунственный и безнадежный замысел, она тем самым и себя еще более закрепощает неполноте, и вовлекает в движение, в действие, т. е. в ущербность, предстоящее ему совершенство. Наконец, третья встреча, худшая из всех, — когда явление Моцарта возбуждает Сальери к максимальной активности, к злодейству. Зависть нечестива и уже совсем слепа; она полагает свою ущербность единственно-законной формой бытия, а полноту считает неправой случайностью, и оттого силится рассеять явление полноты. Но это — безумие: явление полноты — только проявление некоего Целого, Большого; можно устранить конкретное явление полноты, но не силу, родившую его и рождающую вечно. А своим безумным действием ущербное уже окончательно ввергает себя в неутолимую тревогу, в неисходную деятельность.

Итак, по мысли Пушкина, ущербный бессилен исцелиться произвольно. Всякое желание и действие истекает из ущербной природы; поэтому взалкав совершенства и домогаясь его, ты этим новым желанием и действием только глубже погружаешь себя в ущербность. Знай же, что ты заключен в порочный круг, и не суживай его усилиями выступить за окружность. Напротив, смирайся пред совершенством, созерцай его

бескорыстно; тогда, бездействием умиления, ты хоть мимолетно вступаешь в покой совершенства. Пушкин трогательно любил это чувство, лелеял его в себе и с любовью изображал в других. Самое слово «умиление» он повторял многократно. Он знал терзания совести, «змеи сердечной угрызенья», но его раскаянье всегда молитвенно и смиренно. Таковы строфы «Когда для смертного умолкнет шумный день»; таков его ответ Филарету, чистая песнь сокрушения и благоговенья пред святостью:

Я лил потоки слез нежданных  
И язвам совести моей  
Твоих речей благоуханный  
Отраден чистый был елей...  
Твоим огнем душа палима,  
Отвергла мрак земных сует,  
И внемлет арфе серафима  
В священном ужасе поэт.

Этот священный ужас — то самое чувство, которое испытал демон, созерцая ангела. Умиление внушает Пушкину его Мадонна, «чистейшей прелести чистейший образец»; и всюду, где ему являлось, хотя бы в телесном образе, совершенство, — оно исторгало у него такое признание; он «благоговеет богомольно перед святыней красоты», его душа трепещет «перед мощной властью красоты». Даже его свирепый Гирей обезоружен святой невинностью Марии. Поэзия Пушкина исполнена умилением, каждый его взгляд на прекрасное и каждое слово о нем суть умиление. Как Пушкин мыслил совершенство и созерцал красоту — по истине, «ангел Рафаэля так созерцает божество» 5.

А в основании этого светлого чувства лежала у него страшная уверенность, что ущербное бытие неисцелимо. Какая убийственная и какая опасная мысль! Она повергает грешного в отчаяние и парализует его волю. Зачем стремиться к святости, когда это стремление и тщетно, и греховно? Пушкин не только не верит в возможность нравственного совершенствования: он еще осуждает и запрещает его. Двадцать столетий люди исповедуют противоположный догмат: грех исцелим; захоти и исцелишься. Спор идет на протяжении веков лишь о способах исцеления: делами ли спасается грешный или верою. Но и под верою обычно понимали некое действительное состояние, пусть только духовное, именно стремление к совершенству, упорное алкание его. Пушкин всем своим умозрением проповедует обратное, квиетизм: оставайся в грехе, не прибавляй к своим желаниям нового и страстнейшего из желаний — желания избавиться от желаний, что и есть святость. Какое поразительное открытие! Не арабская ли кровь влила в артерии Пушкина это знание первобытных душ, живучее темное знание, которое, как бессмертный змей, влачится до нас через тысячи и тысячи поколений, то зарываясь в ил невидимо, то всплывая на поверхность сознания? Дикарь, Кальвин и Пушкин — что соединило их в торжественном понимании мира?

Но Пушкин еще не досказал своих откровений. Словно отвечая на естественный вопрос: как возможны в несовершенном умиление, любовь и зависть, т. е. как возможно вообще, что совершенство воздействует на ущербное, вызывает в нем движение, — Пушкин отвечает: иначе не может быть, ибо ущербное в самом себе имеет потенциальную полноту, — оно одноприродно с совершенством (и в этом смысле любовь отчасти права). Одна и та же сущность, там воплощенная, здесь замкнута как бы проклятием. Есть святыня, есть сила на дне мятущейся души. Так, в уединении ты познаешь «часы неизъяснимых наслаждений».

Они дают нам знать сердечну глубь;  
В могуществе и в немощах сердечных  
Они любить, лелеять научают  
Не смертные, таинственные чувства.

Как клад, лежат они в душе, «не смертные, таинственные чувства», и в лучшие твои минуты ты можешь созерцать его. Это не полнота, а только предощущение ее. Человеку не дано усилием воли оживлять в себе дремлющую силу, так, чтобы она наполнила его, но уже и знать ее в себе есть счастье. По уверению Пушкина, она самовластна и не покорна сознанию; она подчинена каким-то особенным законам.

И вот Пушкин исследует самочинное бытие этой загадочной силы. Если вообще сознательная сторона душевной жизни наименее интересует его, а преимущественное и страстное внимание он направляет на бессознательную деятельность духа, то всего напряженнее, с ненасытной жадностью, он вникает в природу последней стихии, совсем закутанной в ночь.

По его мысли, ущербная личность не скудна, но стихийная воля в ней как бы связана. Здесь сила клокочет на дне; душа безнадежно алчет наполниться ею и мятется в вечном голоде. Что связывает стихию? Пушкин определенно отвечает: разум. Ущербность представляется Пушкину болезнью, когда внутри личности образовалось как бы противотечение, которое оттесняет назад кипящий поток и держит его в бесплотном плену. Но случается изредка, стихия вдруг, точно вулканическим взрывом, наполняет душу. Ничто так не волнует Пушкина, как зрелище этих потрясающих извержений, и строфы, где он повествует о них, — без сомнения, вершины его поэзии. Нигде больше он не воспарял вдохновением так высоко, и нигде не видел с такой орлиной зоркостью.

По созерцанию Пушкина формы бытия располагаются в виде лестницы, где на самом верху, как бытие блаженнейшее и объективно-высшее, стоит абсолютная, ненарушимая полнота, врожденное совершенство. Таким Пушкин символически мыслит ангела. На земле совершенство невозможно, но есть люди близкие к ангельскому лику; таковы у Пушкина херувим-Моцарт и большинство его женских образов, как Татьяна и Мария Потоцкая. Он никогда не пробовал определить совершенство; но по всему составу его показаний должно заключить, что оно представлялось ему таким состоянием, когда стихийная сила равномерно распределена в личности, как бы гармонически циркулирует в ней. Эта полнота есть равномерная внутренняя действенность, и она вовеки бездейственна.

Ниже ее стоит, по мысли Пушкина, полнота, дарованная чудом, рождающаяся в экстазе. Она ниже той, потому что менее гармонична и менее устойчива. Как ни мало действует тот, кто из неполного существования разбужен к полноте чудом, — он все же действует. Человек в состоянии экстатической полноты проявляет, по мысли Пушкина, наименьшую возможную действенность, именно действенность изреченного слова. Эта полнота, как и всякая другая, нисходит на душу помимо индивидуальной воли и сознания.

Бедному рыцарю было видение, непостижное уму, и с той поры он «сгорел душою». Вся остальная его жизнь — бездейственное пылание; поразительно, как, сам того не сознавая, Пушкин упорно выставляет на вид праздность бедного рыцаря, его безучастие ко всем мирским делам.

И в пустынях Палестины,  
Между тем как по скалам  
Мчались в битву паладины,

Именуя громко дам,  
«Lumen coelum, sancta Rosa!» —

Восклицал он, дик и рьян,  
И как гром его угроза  
Поражала мусульман.  
Возвратясь в свой замок дальный,  
Жил он строго заключен,  
Все безмолвный, все печальный,  
Как безумец умер он.

Он не сражается; его единственное действие — слово, почти междометие, да и это последнее его действие скоро угасает совсем.

Мицкевич несомненно был прав, когда назвал «Пророка» Пушкина его автобиографическим признанием. Недаром в «Пророке» рассказ ведется от первого лица; Пушкин никогда не обманывал. Очевидно, в жизни Пушкина был такой опыт внезапного преображения; да иначе откуда он мог узнать последовательный ход и подробности события, столь редкого, столь необычайного? В его рассказе нет ни одного случайного слова, но каждое строго-деловито, конкретно и точно, как в клиническом протоколе. Эти удивительные строки надо читать с суеверным вниманием, чтобы не упустить ни одного признака, потому что то же может случиться с каждым из нас, пусть частично, и тогда важно проверить свой опыт по чуждому. Показание Пушкина совершенно лично, и вместе вневременно и универсально; он как бы вырезал на медной доске запись о чуде, которое он сам пережил и которое свершается во все века, которое, например, в конце 1870-х годов превратило Льва Толстого из романиста в пророка.

Уже первое четверостишие ставит меня в тупик: нужно слишком много слов, чтобы раскрыть содержание, заключенное в 15 словах этой строфы. Пушкин свидетельствует, что моменту преображения предшествует некое тайное томление, тоска, беспричинная тревога. Дух жаждет полноты, сам не зная какой, привычный быт утратил очарование, и жизнь кажется пустыней. И вдруг, — помимо личной воли, помимо сознания, непременно вслед за каким-нибудь житейским событием, может быть малым, но глубоко потрясающим напряженные нервы («на перепутьи»), — наступает чудо.

И вот, начинается преображение: ущербное существо постепенно наполняется силою. Кто мог бы подумать, что ранее всего преображаются органы чувств? Но Пушкин определенно свидетельствует: чудо началось с того, что я стал по иному видеть, стал замечать то, что раньше было скрыто от моих взоров, хотя и всечасно пред ними. Затем безмерно стал чуток мой слух; я услышал невнятные мне дотоле вечно звучащие голоса вещей. Еще прошел срок, и я не узнал своей речи; точно против воли, я стал скрытен в слове, заговорил мудро и осторожно. Только теперь, когда непонятным образом обновлены уже и зрение, и слух, и слово, — только теперь человек ощущает в себе решимость признаться себе самому и исповедовать пред людьми, что он преображен (пылающий уголь вместо сердца). Но и сознав себя, он одну минуту испытывает смертельный ужас, ибо преображением он исторгнут из общежития и противопоставлен ему, как безумный: «Как труп, в пустыне я лежал». Но вот, нахлынул последний вал, — душа исполнилась до края; теперь он знает: это не личная воля его, это Высшая воля стремится широким потоком чрез его дух. Отныне он не будет действовать, ибо дух его полон; его единственным действием станет слово: «Глаголом жги сердца людей». В то время как деятели будут бороться со злом и проводить реформы, он будет, может быть, выкликать: «*Lumen coelum, sancta Rosa!*» и клич его будет устрашать ущербных, грозя им Страшным судом.

Наконец, последняя форма экстатической полноты — вдохновение поэта. Это полнота перемежающаяся, наступающая внезапно и так же внезапно исчезающая. Человек, всецело погруженный в ущербное бытие, вдруг исполняется силой; жалкий грешник на краткое время становится пророком, и глаголом жжет сердца людей. Эту двойственность Пушкин изобразил в стихотворении «Поэт». Чем вызывается преображение? чей непостижимый призыв вдруг пробуждает спящую душу? — здесь все тайна; Пушкин говорит метафорами: «Аполлон требует поэта», «до слуха коснулся божественный глагол». Но самую полноту он изображает отчетливо, и если собрать воедино черты, которыми Пушкин обрисовал вдохновение, то оно может быть определено, как гармонический бред.

Итак, до сих пор мы нашли у Пушкина два вида полноты: во-первых, полноту врожденную, — совершенство, во-вторых более или менее полное, более или менее устойчивое наитие. Но дальше открывается, что кроме полноты гармонической, представленной этими двумя формами, Пушкину была введена еще другая полнота — хаотическая, когда сила тоже всецело наполняет душу, но наполняет не стройно, а как бы бурными волнами или водоворотом, что вовне означает исступленную действительность. Следовательно, в представлении Пушкина верхней бездне, небесной, соответствует нижняя бездна; ущербность в своей последней глубине полярно-противоположна совершенству. И вот что поразительно: Пушкин почти говорит: — «и равноценна ему по мощи и субъективной сладости». Он считает совершенство наивысшей формой бытия, какая вообще возможна, и умиленно благоговеет пред ним, но и о полноте хаотической он говорит восторженно, как о блаженнейшем состоянии твари. Он имеет смелость в 19-м веке, в разгар гуманитарной цивилизации, почти приравнять исступление и совершенство, до такой степени их общий признак — душевная полнота, угашение разума, — перевешивает для него различие их частных определений. Счастье на миг приблизиться к ангельскому состоянию, но блаженство также, хотя и мучительное, стать на мгновение Люцифером. Такова подлинная мысль Пушкина: только бы не быть «чадом праха».

По истине, к большой выгоде дано человеку искусство. Пушкин в стихах исповедует крайне опасные убеждения, которых никогда не дерзнул бы высказать в прозе; кому же охота прослыть сумасшедшим или дикарем! Темно и страшно в глубинах духа; но поэзия хитра: она прикрывает сверху пучину радужной ледяной корой, которая радуется — и поглощает взоры; а под корой уже свободно и всенародно плавают глубоководные чудовища. Если бы робкие и незрелые увидели, какой вопль негодования поднялся бы! Но они не догадаются; и поэт хранит невинный вид, между тем как педагоги усердно тискают его стихи в хрестоматиях.

Простейшая и самая общая форма хаотической полноты — сумасшествие. Пушкин без обиняков заявляет: я был бы рад расстаться с разумом.

Как бы резво я  
Пустился в темный лес!  
Я пел бы в пламенном бреду,  
Я забывался бы в чаду  
Нестройных чудных грез.  
И я б заслушивался волн,  
И я глядел бы, счастья полн,  
В пустые небеса,

И силен, волен был бы я,  
Как вихорь, роющий поля,

*Ломающий леса.*

*Вот в чистом виде своем хаотическая полнота, еще совсем не определившаяся, подобная неистовству элементарных сил. Даже и это состояние Пушкин рисует себе с завистью. Еще выше стоит, по его мысли, тот экстаз, тоже бурный, который рождается в отпоре внешней преграде, — экстаз бунта, также еще общий человеку и низшей природе. Экстаз сумасшествия беззлобен, экстаз бунта свиреп; первый разрешается бесцельным движением, второй — устремленным на преграду; но оба безудержно-действительны. Такой бунт изображен в стихотворении «Обрыв». В этом элементарном явлении Пушкин узнал нечто родное и обаятельное для него — дикую красоту мятежа; вот почему его рассказ, с виду такой сухой, трепещет страстью, вот откуда это благоговейное личное обращение: «О Терек!»*

*Оттоль сорвался раз обвал,  
И с тяжким грохотом упал,  
И всю теснину между скал  
Загородил,  
И Терека могущий вал  
Остановил.  
Вдруг, истощась и присмирив,  
О, Терек, ты прервал свой рев;  
Но задних волн упорный гнев  
Прошиб снега.  
Ты затопил, освирепев,  
Свои берега.*

*Так чума запрудила людям течение их привычных дел, и дух, освирепев, прошиб страх смерти, взыграл восторгом: дух затопил свои берега. Оттого-то*

*Есть упоение в бою,  
И бездны мрачной на краю,  
И в разъяренном океане  
Средь грозных волн и бурной тьмы,  
И в аравийском урагане,  
И в дуновении чумы!  
Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья,  
Бессмертья, может быть, залог!*

*Пушкин прибавляет:*

*И счастлив тот, кто средь волненья  
Их обрести и ведать мог.*

*Это экстаз разрушительный, злой: берега залиты, обвал пробит, «И Терек злой под ним бежал»; и Вольсингам знает свое беззаконие. — И тем не менее Пушкин называет его «неизъяснимым наслаждением» и видит в нем залог бессмертия, потому что Пушкин обожает в конце концов всякое освобождение «несмертных чувств», всякий экстаз.*

*Кто, волны, вас остановил,  
Кто оковал ваш бег могучий,*

*Кто в пруд безмолвный и дремучий  
Поток мятежный обратил?  
Вы, ветры, бури, взойте воды,  
Разружьте гибельный оплот.  
Где ты, гроза, символ свободы?  
Промчись поверх невольных вод!*

*Итак, вот верхняя бездна — рай совершенства, и нижняя — ад, где сгорает Вольсингам, «падающий дух». Между безднами — все ступени безумия, и всем безумиям Пушкин говорит свое да, потому что всякое состояние полноты, будь то даже полнота бессмысленная или сатанинская, лучше ущербного, т. е. разумного существования. Отсюда интерес Пушкина к Разину и Пугачеву; отсюда грустный тон в отброшенной строфе «Кавказа»:*

*Так буйную вольность законы теснят,  
Так дикое племя под властью тоскует, — и оттого же он с таким презрением и отвращением произносит слово «покой»:*

*Но скучный мир, но хлад покоя  
Счастливец душу волновал...*

*Мучением покоя  
В морях казенного...*

*Народы тишины хотят  
И долго их ярем не треснет...*

*Паситесь, мирные народы,  
Вас не пробудит чести клич!*

*Не как спасенный Вергилий, но как один из тех, кто среди адских мук, кляня и стеная, повествует Данту о своей плачевной судьбе, так Пушкин низводит нас в ад ущербного существования. Он сам наполовину жил в аду. Здесь стихийная воля пленена разумом и душа безнадежно жаждет наполниться. Оттого ее жизнь — непрерывная смена желаний. Стихия не может подняться со дна, чтобы целостно разрешиться в душе свободным и могучим движением. Лишь без усталости, без конца выбивают вверх частичные извержения лавы — наши желания и страсти. Пушкин многократно свидетельствует: желание, страсть — в сущности беспредметны, не направлены ни на что внешнее; действительно, ведь желание — не что иное как позыв, обращенный внутрь самой души, именно — мечта о том, чтобы замкнутая сила наполнила меня. Но здесь ущербную душу подстерегает соблазн: так как ей не дано воззвать в себе полноту своей волею, то она устремляется на внешнее, как огонь на хворост, чтобы разгореться. Так из общего голода рождается конкретное желание или конкретная страсть. Так Пушкин рисует состояние Татьяны накануне любви:*

*Давно сердечное томленье  
Теснило ей младую грудь;  
Душа ждала... кого-нибудь,  
И дождалась. Открылись очи:  
Она сказала: это он!*

*И гениальные строки в письме Татьяны говорят о том, как общий голод души субъективно преобразуется в конкретную страсть:*

*Ты в сновиденьях мне являлся:  
Незримый, ты мне был уж мил,  
Твой чудный взгляд меня томил,  
В душе твой голос раздавался  
Давно...*

*Оттого каждая страсть сулит нам не частичное только, но полное утоление духа. Дон Жуан справедливо говорит Донне Анне:*

*С тех пор,  
Как вас увидел я, все изменилось.  
Мне кажется, я весь переродился.*

*Так смотрит и каждый человек на предмет своего желания: здесь-то я наконец утолю свой голод.*

*Но утолить душевный голод может только взывавшая сила, а она поднимается не иначе, как самовластно, по присущим ей законам; страсть же сжигает свой предмет и с ним гаснет сама, т. е. сменяется тотчас новым желанием, новой страстью, и обманутый голод разгорается сильнее. Вся жизнь — чередование пламенных вспышек, сулящих блаженство, и мучительных угасаний. Совершенству разумеется чужды страсти; о Марии Пушкин говорит: «Невинной деве непонятен язык мучительных страстей», и о гармонической красоте — что в ней «все выше мира и страстей». А Зарема «для страсти рождена», в ее сердце — «порывы пламенных желаний». Таков же Алеко; и нет спасения от страстей, потому что ущербный дух не может не алкать.*

*Боже, как играли страсти  
Его послушною душой!  
С каким волнением кипели  
В его измученной груди!  
Давно ль, надолго ль усмирели?  
Они проснутся: погоди.*

*Непонятно, как могли усмотреть в «Цыганах» моральную идею. Пушкин хотел представить в Алеко ущербную душу, которая не может не рождать из себя страстей, в какие бы условия ее ни поставить; он хотел также показать, что ущербность и сопряженные с нею страсти присущи не только питомцу культуры, но человеку вообще, хотя в детях степей они несравненно более гармоничны. Алеко и цыганы — только две разновидности неполноты, и это общее в них для Пушкина важнее явного различия между ними. Объединяющий их замысел поэмы полностью и ясно выражен в ее последних строках, — странно, что их не замечают:*

*Но счастья нет и между вами,  
Природы бедные сыны!  
И под издранными шатрами  
Живут мучительные сны;  
И ваши сени кочевые  
В пустынях не спаслись от бед,  
И всюду страсти роковые,  
И от судеб защиты нет.*

Поэтому Пушкин мыслит о страсти двойственно. Он не может не любить ее, потому что страсть — все же полнота души, хотя и преходящая. Его лестница священных безумий не кончается на пороге ущербности: страсть — мгновенная вспышка безумия в самой ущербности. Страсть наполняет душу чудными грезами; Пушкин много раз называет мир пустыней («Не даром темною стезей я проходил пустыню мира», «Доселе в жизненной пустыне», «Что делать ей в пустыне мира?» и т. д.): страсть преобразует пустыню в райский сад. По мысли Пушкина, вещи бесцветны, — их окрашивает только воспринимающий дух, смотря по его полноте. Со своей обычной точностью выражений Пушкин говорит: «Страдания,... плоды сердечной пустоты», «Минуты хладной скуки, Сердечной пустоты», — и много лет спустя добавляет обратное: «тайный жар, мечты,.. плоды сердечной полноты». Рисуя бесстрастное время своей жизни, он говорит:

Тянулись тихо дни мои  
Без божества, без вдохновенья,  
Без слез, без жизни, без любви; но вспыхнула страсть —

И сердце бьется в упоенье  
И для него воскресли вновь  
И божество, и вдохновенье,  
И жизнь, и слезы, и любовь.

Страсть, по Пушкину, — всплеск стихийной духовной силы, ее сладость и мощь — в ее беззаконии. Она вспыхивает и гаснет по своему произволу; Пушкин говорит безлично: «Душе настало пробужденье». Здесь воля бессильна, а разум сам поражен неожиданностью душевного взрыва; напротив, пробужденная стихия властно покоряет себе всю личность, заставляет ее служить себе. Он говорит:  
Душа лишь только разгоралась

(а разгорается она своевольно), —

И сердцу женщина являлась  
Каким-то чистым божеством.

Что же сам человек, с его умом и волею, с его целесообразным стремлением? — Он только орудие сверхличной стихии, которая, пробудившись, владеет им. И также произвольно страсть угасает, и опять ее угасание определяет волю и разум, а не наоборот. Может ли быть большее рабство, большее унижение гордого разума? Личность — ничто, перо, носимое бурей; ей безусловно законодательствует стихия. Но Пушкин не видит здесь обиды. Он точно удивился, когда впервые сознал свою подданность непонятному закону, как раньше никогда не сознавал; но в нем нет ропота: он только с недоумением констатирует в себе действие этого закона. Женщина, которую он любил когда-то, умерла; казалось бы, весть о ее смерти должна была глубоко взволновать его; но нет:

Напрасно чувство возбуждал я:  
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,  
И равнодушно ей внимал я.  
Так вот кого любил я пламенной душой  
С таким тяжелым напряженьем,  
С такою нежною, томительной тоской,  
С таким безумством и мученьем!  
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей

*Для бедной, легковерной тени,  
Для сладкой памяти невозвратимых дней  
Не нахожу ни слез, ни пени.*

*Нет, он не оскорблен владычеством стихии над личностью; напротив, он приемлет ее власть со страстной благодарностью и благоговением. В бессмертных стихах он поет гимн беззаконной стихии, славя ее всюду, где бы она ни проявлялась, — в неодушевленной природе, в звере или в человеческом духе:*

*Зачем крутится ветер в овраге,  
Волнует степь и пыль несет,  
Когда корабль в недвижной влаге  
Его дыханья жадно ждет?  
Зачем от гор и мимо башен  
Летит орел, угрюм и страшен,  
На пень гнилой? — Спроси его!  
Зачем арапа своего  
Младая любит Дездемона,  
Как месяц любит ночи мглу?  
Затем, что ветру и орлу  
И сердцу девы нет закона.  
Гордись! таков и ты, поэт:  
И для тебя закона нет.*

*Этим «гордись» Пушкин подрывает все основы нравственности и общежития. Гордись не моральным поступком, не успехами разумного строительства; как раз наоборот пусть толпа подчиняется законам разума, — гордиться в праве перед нею тот, кто ощущает в себе беззаконность стихийной воли. К морю Пушкин обращает привет: «Прощай, свободная стихия!» Море чарует его больше всего «грозной прихотью своей», «своенравными порывами».*

*Смиранный парус рыбарей,  
Твоею прихотью хранимый,  
Скользит отважно средь зыбей,  
Но ты взыграл, неодолимый,  
И стая тонет кораблей.*

*И в человеке — лучшее, когда он «волей своенравной» подобен морю, да своенравная воля и прихоть волн, по мысли Пушкина, — одна и та же стихия. Он говорит о Байроне, обращаясь к морю:*

*Твой образ был на нем означен,  
Он духом создан был твоим:  
Как ты, могущ, глубок и мрачен,  
Как ты, ничем неукротим.*

*Итак, Пушкин не устает славословить «упоенье», «пламень упоенья», «упоение страстей». И в то же время он оплакивает страсти, потому что они изнуряют дух. Он называет их не раз: «мучительные сны», он говорит: «страх живет в душе, страстьми томимой». Каждая страсть в разгаре своем — минутный экстаз: да будет она благословенна! Но как ужасны последствия страстей! Страсть, сгорая, оставляет горькое чувство, и от многих страстей накапливается многая горечь.*

*Кто чувствовал, того тревожит  
Призрак невозвратимых дней, —  
Тому уж нет очарований,  
Того змея воспоминаний,  
Того раскаянье грызет.*

*Надо прислушаться к словам Пушкина: «Страстями сердце погубя», «Где бурной жизнью погубил надежду, радость и желанье», «Без упоенья, без желаний я вяну жертвою страстей», «Душевной бури след ужасный». Вот кара: сердце, утомленное страстями, гаснет, холодеет; исчезает очарование, нет желаний, и жизнь подобна смерти. Эту мысль Пушкин высказывает несчетное множество раз: «Уснув бесчувственной душой», «увядшее сердце», «души печальный хлад», «хладный мир души бесчувственной и праздно», «сердца тяжкий сон». Что же? значит, надо проклясть эти мгновенные вспышки, оставляющие такой печальный след? Нет, Пушкин не проклянет страсти. Как бы пагубна она ни была, все же она лучше прозябания. Только одно ненавидел Пушкин на земле, одно презирал в человеке: неспособность к страсти. Как душевная полнота есть высшее состояние личности, так бесстрастие — низшее, последняя нищета души. Один этот признак Пушкин и вкладывал в понятие толпы. Нелепо говорить о его аристократизме: чернь для него — те, кто живет бесстрастно, даже не тоскуя по душевной полноте; слово «хладная» у него — постоянный эпитет к слову «толпа» и встречается десятки раз во всевозможных сочетаниях: «хладная толпа», «хладный свет», «посредственности хладной», и т. п. У него чернь точно определяет себя: «Мы сердцем хладные скопцы». Холод чувств, мерзость тепловатых желаний и производимой ими мелкой суеты, точно ряби на плесневеющем пруде, — вот что он ненавидит всей душою. Здесь не может зародиться ни одна высокая мечта, ни один подвиг; здесь царит, по слову Пушкина, разврат, как гниль в пруду. Пушкин говорит черни: «В разврате каменейте смело», ибо в холоде сердце каменеет. Он много раз говорит: надо бежать от толпы, от суеты, надо жить «в строгом уединении, вдали охлаждающего света», он боится*

*Ожесточиться, очерствовать  
И наконец окаменеть  
В мертвящем упоеньи света.*

*Он говорит о Ленском:*

*От хладного разврата света  
Еще увянуть не успев.*

*И самое страшное то, что сердце, перегоревшее в страстях, впадает именно в бесчувственность, становится бесстрастным и холодным, как сердце любого из толпы. Ущербному нет спасенья; пережив ли ряд страстей, или не зная их вовсе, — итог один: рано или поздно душу обнимает «печальный хлад». Молодость — пора страстей, хотя не для всех: большинство рождаются холодными; но зрелый возраст сравняет тех и других. Так думал Пушкин. Старость он неизменно определяет как «охлаждены лета»; он не задумываясь пишет: «Под хладом старости».*

*Все предопределено, и человек ни в чем не виновен. Холодный не может загореться восторгом, страстный не может не пылать, но не властен и продлить свое горение. Все печально и ничтожно на земле, кроме душевной полноты, — но она не в нашей воле; мы*

— как рабы, которым неведомый хозяин бросает подачки — минуты упоения. Подчас сердце Пушкина наполняется упоением горечи, и он вопрошает:

*Кто меня враждебной властью  
Из ничтожества воззвал?*

Разумение Пушкина совершенно духовно, т. е. имеет своим предметом исключительно жизнь духа, так как в духе он видит не только единственное творческое начало и всеобщего двигателя, но и единственную реальность мироздания, веществу же приписывает лишь призрачное бытие, которое создается и определяется каждый раз данным состоянием духа.

Нет двух миров, но одна и та же стихия царит в природе и в духе. Диким воображением своим Пушкин как будто видит самый лик стихии, и однажды ему напомнил ее Петр:

*Лик его ужасен,  
Движенья быстры, он прекрасен,  
Он весь как Божия гроза.*

Человек бессилён повелевать своему духу, т. е. стихии, действующей в нем. Наше сознание только извещает нас о наступающем приливе или отливе стихийной силы, но не может их вызывать или даже в самой малой мере воздействовать на них. Поэтому Пушкин должен был безусловно отрицать рациональную закономерность духовной жизни, т. е. эволюцию, прогресс, нравственное совершенствование. Там, где полновластно царит своеволие стихии, не может быть никаких законов. Тем самым снимается с человека всякая нравственная ответственность.

Отсюда ясно, что Пушкин весьма слабо отличает моральное добро от зла. Он почти равно любит их, когда они рождены в грозе и пламени, и почти равно презирает, когда они прохладны, т. е. оценивает их больше по их температуре, нежели по качественному различию. Совершенство по Пушкину — не моральная категория: совершенство есть раскаленность духа, но равномерная и устойчивая, так сказать — гармоническое пылание

(«Твоим огнем душа палима»). Когда будет составлен словарь Пушкина, то несомненно окажется, что никакие определительные речения не встречаются у него чаще, нежели слова пламя и хлад с их производными, или их синонимы, в применении к нравственным понятиям. В его обожании огня и отвращении к холоду сказывается то древнее знание человека, которое некогда привело народы к солнце- и огнепоклонству, к культу Агни, по-русски огня. Самую обитель Бога, небесные селения, он определяет, как пламя («Где чистый пламень пожирает несовершенство бытия»).

Отсюда понятна также его затаенная вражда к культуре. Ему, как и нам, мир предстоит расколотым на царство стихии и царство разума. В недрах природного бытия, где все — безмерность, беззаконие и буйство, родилась и окрепла некая законодательная сила, водворяющая в стихии меру и строй. Но в то время, как люди давно и бесповоротно признали деятельность разума за должное и благо, так что уверенность эта сделалась как бы исходной аксиомой нашего мышления, — Пушкин исповедует обратное положение. Как и мы, он хочет видеть человека сильным, прекрасным и счастливым, но в такое состояние возносит человека, по его мысли, только разнузданность стихии в духе; и потому он ненавидит рассудок, который как раз налагает на стихию оковы закона. Слово «свобода» у Пушкина должно быть понимаемо не иначе, как в смысле волевой анархии.

Пушкин различает два вида сознания: ущербный, дискурсивный разум, который, ползая во прахе, осторожно расчлняет, и мерит, и определяет законы, — и разум полноты, т. е. непосредственное интуитивное постижение. Ущербный разум — лишь тусклая лампада пред этим чудесным узрением, пред «солнцем бессмертным ума». Что Пушкин называет «умом», в отличие от рассудка, — тождественно для него с вдохновением: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии». («О вдохновении и восторге», 1824 г.) Здесь весь смысл — в слове: «живейшему»; на нем ударение. Если бы критики, читая «Вакхическую песнь» Пушкина, сумели расслышать главное в ней, — ее экстатический тон, — они не стали бы объяснять слова: «да здравствует разум!» как прославление научного разума. Это стихотворение — гимн вдохновенному разуму, уму-солнцу, которому ясно противопоставляется «ложная мудрость» холодного, расчетливого ума<sup>7</sup>.

Разум порожден остылостью духа (думы по его определению суть «плоды подавленных страстей»). Там, в низинах бытия, где прозябают холодные, разум окреп и вычислил свои мерилы, и там пусть царствует, — там его законное место. Но едва вспыхнуло пламя, — личность тем самым изъята из-под власти разума; да не дерзнет же он святотатственно стеснять бушевание страсти. Вот почему Пушкин, страшно сказать, ненавидит просвещение и науку. Для Пушкина просвещение — смертельный яд, потому что оно дисциплинирует стихию в человеческом духе, ставя ее помощью законов под контроль разума, тогда как в его глазах именно свобода этой стихии, ничем не стесненная, есть высшее благо. Вот почему он просвещение, т. е. внутреннее укрощение стихии, приравнивает к внешнему обузданию ее, к деспотизму. Эти два врага, говорит он, всюду подстерегают божественную силу:

Судьба людей повсюду та же:  
Где капля блага, там на страже  
Иль просвещенья, иль тиран;

В «Цыганах» читаем:

Презрев оковы просвещенья,  
Алеко волен как они; и в уста Алеко он влагает такой завет сыну:

Расти на воле, без уроков...  
Пускай цыгана бедный внук  
Не знает неги просвещенья  
И пышной суеты наук.

Сколько усилий было потрачено, чтобы забелить это черное варварство Пушкина! Печатали: «там на страже — Непросвещенье иль тиран», или: «Коварство; злоба и тиран», «Иль самовластье, иль тиран», и в песне Алеко: «Не знает нег и пресыщенья». Но теперь мы знаем, что Пушкин написал именно так.

Жизнь, учит Пушкин, — всегда неволя, но в огне неволя блаженная, в холоде горькая, рабство скупому закону. И кроме этой жизни нет ничего; рай и ад — здесь, на земле. История, поступательный ход вещей? — нет, их выдумали люди. Но есть три состояния стихии в человеческом духе: ущербные желания, экстазы и безмятежность полноты; есть действительность мелкая и презренная, есть героическая действительность, которая прекрасна и мучительна, и есть покой, глубокий, полный силы, чуждый всякого движения

вовне. Кто осенен благодатной полнотою, тот вовсе не действует, и в этом смысле не живет; лишь тайный свет, безвольно излучаемый им, тревожит бодрствующих, ущербных.

Так учил Пушкин. Но он был поэт, а не философ. Мудрость, которую я выявляю здесь в его поэзии, конечно не сознавалась им как система идей; но она была в нем, и наше законное право — формулировать его умозрение, подобно тому, как можно начертать на бумаге план готового здания. Эти линии плана вполне реальны, ими определяется расположение частей, хотя в самом здании их не видно, — они заложены в камень и орнамент.

Есть разные виды самосознания. Человек, обладающий зрительной памятью, обычно не сознает своей природы, и все же он принадлежит к зрительному типу, что ясно для наблюдателя. Консерватор или революционер основывают свои убеждения, разумеется, на конкретных доводах философского, морального или практического порядка, но исследователь вскроет и в том, и в другом, как основной узор личности, врожденные склонности и несознанные усмотрения, которыми определяется характер их идей.

Эту сердцевину духа, этот строй коренных усмотрений я пытаюсь обнаружить в Пушкине; слежу линии его скрытого плана и черчу их на плоскости. Оттого так четко в моем чертеже то, что в самой поэзии Пушкина окутано художественной плотью. Я формулирую имманентную философию Пушкина, и мое изложение так же относится к его поэзии, как географическая карта — к самой стране, как линейный план — к зданию, как механическая формула — к самой машине.

Древнее знание живо в каждом из нас, оно сгустилось и затвердело на дне наших слов. Но мы не сознаем его, а Пушкин сознал в своем личном опыте. И это преимущество он купил дорогой ценой.

Пушкину не было дано ни ангельской полноты, ни той, противоположной, которую он знал в Петре, Наполеоне и Байроне. Судьба повела его как раз труднейшей дорогой — через страсти в душевный холод. Как Онегин,

Он в первой юности своей

Был жертва бурных заблуждений

И необузданных страстей, и как в Онегине, «рано чувства в нем остыли». Начиная с 1819 года он беспрестанно жалуется на возрастающую бесчувственность, последствие бурных страстей. Он «пережил свои желанья, разлюбил свои мечты», он живет «без упоительных страстей»; он жалуется: «тягостная лень душою овладела», «остыла в сердце кровь», «душа час от часу немеет, в ней чувств уж нет», «в сердце, бурями смиренном, теперь и лень и тишина»; он говорит:

С этих пор

Во мне уж сердце охладело,

Закрылось для любви оно,

И все в нем пусто и темно; он сравнивает себя с Онегиным:

Я был озлоблен, он угрюм;

Страстей игру мы знали оба;

Томила жизнь обоих нас;

В обоих сердца жар погас.

Но он с юности знал тоску по совершенству. Еще в разгаре страстей его томила «смутное влеченье чего-то жаждущей души», — а эта тоска никогда не остается

неутоленной. И оттого случилось, что на пороге зрелых лет предстал ему «ангел нежный» в виде женщины, —  
И скрылся образ незабвенный  
В его сердечной глубине.

Мы не знаем, кто она была; во всяком случае, это была живая женщина, и Пушкин любил ее как женщину, не отвечающую ему любовью. Но он знал также, что это воплотилась перед ним его жгучая тоска по полноте, по самозабвению, как порою зной и жажда в пустыне рисуют путнику цветущий оазис-мираж. Он всегда говорил о ней двойственно: то как о живой женщине, то как о райском видении, сне. Он ее «узнал иль видел как во сне»; ее образ в нем — «сон воображенья», «души неясный идеал». Он говорит о ней:

Бывало, милые предметы  
Мне снились, и душа моя  
Их образ тайный сохранила;  
Их муза после оживила.

И весь жар сердца, еще горевший в нем, на долгие годы сосредоточился в этом образе. То был его собственный лучший лик, мечтаемое им совершенство. О ней он вспоминал в «Разговоре книгопродавца с поэтом»:

Душа моя  
Хранит ли образ незабвенный?

Ей говорит в Посвящении к «Полтаве»:

Твоя далекая пустыня,  
Последний звук твоих речей —  
Одно сокровище, святыня,  
Одна любовь души моей.

Он долго лелеял память о том часе, когда ее образ впервые просиял перед ним — или в его душе. Эту внутреннюю встречу он изобразил в «Ангеле», и в черновиках того Посвящения есть строка: «Верь, ангел, что во дни разлуки...», и в другом месте он говорит о ней же:

Земных восторгов излишня,  
Как божеству, не нужны ей.

Об этой же встрече он рассказал и в «Бахчисарайском фонтане». Гирей не забудет Марию; после ее смерти

Он снова в бурях боевых  
Несется мрачный, кровожадный,  
Но в сердце хана чувств иных  
Таится пламень безотрадный.  
Он часто в сечах роковых  
Подъемлет саблю и с размаха  
Недвижим остается вдруг,  
Глядит с безумием вокруг,  
Бледнеет, будто полный страха,  
И что-то шепчет, и порой  
Горючи слезы льет рекой;

*И смысл всей поэмы выражен ясно в одной строфе:  
Так сердце, жертва заблуждений,  
Среди порочных упоений  
Хранит один святой залог,  
Одно божественное чувство.*

*Он пел о себе, о своем умилении. И этот же образ ущербного человека, носящего в себе «святой залог», он много лет спустя нарисовал еще раз, но уже взнесенным высоко над землей, отрешенным от всего дольнего, — в лице «Бедного рыцаря». Он сам хотел бы взлететь туда — если бы ему крылья!*

*Далекий, возделенный берег!  
Туда б, сказав прости уцелью,  
Подняться к вольной вышине;  
Туда б, в заоблачную келью,  
В соседство Бога скрыться мне!*

*«Жар умиления», «чистое упоение любви» не спасли Пушкина. С годами его бесчувствие все усиливалось. В 1826 году он пережил тот миг преображения, который запечатлен в «Пророке». Мицкевич говорит о «Пророке»: это было начало новой эры в жизни Пушкина, но у него не достало силы осуществить это предчувствие. Если бы мысль Мицкевича стала известна Пушкину, он без сомнения подтвердил бы ее, но виновным не признал бы себя: он твердо знал, что царство Божие не стяжается усилиями. Можно думать, что, потрясенный своей неудачей, сознав свою обреченность, он с тех пор стал еще быстрее клониться к упадку. К 1827—28 годам относятся самые безотрадные его строки. В 7-й песне «Онегина», дивясь тяжелому чувству, которое пробуждает в нем весна, он спрашивает себя:*

*Или мне чуждо наслажденье,  
И все, что радует, живет,  
Все, что ликует и блестит,  
Наводит скуку и томленье  
На душу, мертвую давно,  
И все ей кажется темно?*

*Какое горькое признание! Теперь бывают минуты, когда он — почти как один из толпы, живой мертвец. Разве не о духовной смерти говорят эти строки:*

*Цели нет передо мною,  
Сердце пусто, празден ум,  
И томит меня тоскою  
Однозвучный жизни шум.*

*Так ли он принимал жизнь в пору юности своей, так ли отвечал на вызовы судьбы? Теперь, в 1828 году, — какая надломленность в нем!*

*Бурной жизнью утомленный,  
Равнодушно бури жду:  
Может быть еще спасенный  
Снова пристань я найду.*

Позднее это чувство просветляется в Пушкине. Он решил: больше нечего ждать, надо помириться на том малом, что даровано. Этим смирением внушена Пушкину трогательная элегия «Безумных лет угасшее веселье». Минутами он пытается разуверить себя и воспрянуть, но как сильно он понизил свои требования!

О нет, мне жизнь не надоела,  
Я жить хочу, я жизнь люблю!  
Душа не вовсе охладела,  
Утрата молодость свою.  
Еще хранятся наслажденья  
Для любопытства моего,  
Для милых снов воображенья...

Нельзя без волнения читать эти строки, — да Пушкин и не смог дописать их, точно муза, плача, отвернула свое лицо. Было естественно, что Пушкин именно в 1830 году решил жениться. Его женитьба была только обнаружением того созревшего состояния души, которое выразилось в его суждениях о своем поступке: «Нет иного счастья, как на обычных путях, к тому же я женюсь без упоения». Правда, ему оставалось еще на наш взгляд немало: ему оставался еще «пламенный восторг» вдохновения, и вдохновением он дорожил, как последним кладом, взывал к нему:

Волнуй мое воображенье,  
В мой угол чаще прилетай,  
Не дай остыть душе поэта.

И к стиху: «Судьбою вверенный мне дар» у него была готовая рифма: «Во мне питая сердца жар». Но могло ли и вдохновение жарко пылать в остывающей душе? оно само ведь питалось ее общим пламенем. Угас и тот светлый образ, хранивший последнее тепло чувства. Пушкин стынет, стынет, и на душе его все мрачнее. Под пеплом еще таилась в нем жгучая мечта — не о совершенстве: Бог с ним! но о какой бы то ни было полноте, о внезапном порыве, который наполнил бы душу и унес бы ее. Одиннадцать лет, с 1824 по 1835 г., Пушкин тайно лелеял преступный замысел «Египетских ночей», как сладчайшую свою мечту. С какой радостью он сам кинулся бы к урне роковой, где лежали жребии смертоносного блаженства! Он начал «Египетские ночи» в то время, когда впервые со страхом сознал в себе неудержимое угасание чувства. Напомню еще раз изумительный набросок 1823 года:

Кто, волны, вас остановил,  
Кто оковал ваш бег могучий,

Кто в пруд безмолвный и дремучий  
Поток мятежный обратил?

В рукописи здесь сбоку написано еще несколько неотделанных и неразборчивых строк, которые можно читать приблизительно так:

Чей жезл волшебный усыпил  
Во мне надежду, скорбь и радость  
И душу бурную прежде  
Одной дремотой осенил.

Очевидно, уже за этими стихами должна была следовать та заключительная строфа:

*Вы, ветры, бури, взойте воды,  
Разружьте гибельный оплот.  
Где ты, гроза, символ свободы?  
Промчись поверх невольных вод.*

*Это он о себе говорил, на себя призывал испепеляющую страсть. Отсюда тогдашний замысел «Египетских ночей». В 1835 году то безумное ожидание снова вспыхнуло в нем, может быть с удесятенной силой, и он вернулся к «Египетским ночам», которые горят той же тоскою, как вопль Тютчева:*

*О небо, если бы хоть раз  
Сей пламень развился по воле,  
И не томясь, не мучась доле,  
Я просиял бы и погас!*

*Но жизнь была уже безвозвратно проиграна. Горькое отречение 1828 года с годами сменилось спокойным равнодушием; пред чем он тогда еще содрогался, то теперь принял как обычное, нормальное. Еще в 1831 году он заставил Онегина сказать:*

*Я думал: вольность и покой —  
Замена счастью. Боже мой!  
Как я ошибся, как наказан!*

*— а в 1836-м он эти самые две ценности, — очень хорошие ценности, но не высокого разбора, — оценивал уже положительно: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Куда девалась тоска, «роптанье вечное души»? Когда-то он знал, что есть настоящее счастье: экстаз; теперь он, как умирающий, жаждет покоя: «Покоя сердце просит». Он действительно был полумертв, и живя среди полумертвых, не мог не заразиться их гниением. Когда цветок в горшке ослабел, на него нападает тля; так светская сплетня сгубила Пушкина, чего никогда не случилось бы, если бы в нем не остыл жар сердца. Но его кровавый закат был прекрасен. В последний час его врожденная страстность вспыхнула великолепным бешенством, которое еще теперь потрясает нас в истории его дуэли.*

*Как странники, брошенные в безвестный край, мы бродим в дебрях чувств, оцупью подвигаясь в небольшом кругу, и если кто-нибудь из нас при свете внезапно вспыхнувшего сердца проглянет вдаль, как дивится он необъятности и грозной красоте духа! Это его личный дух и вместе наш общий; пусть он расскажет нам свое новое знание, потому что оно нужно нам, как хлеб. Ведь все, что терпит и создает человек, его радость и горе, его подвиги и победы, все — только деятельность духа; что же может быть важнее для нас, нежели знание о духовной силе? Когда же приходит один из тех, в ком дух горит долго и сильно, сам освещая себя, нам надо столпиться вокруг него и жадно слушать, что он видел в незнакомой стране, где мы живем. Как странно и невероятно! Мы, сидя на месте, думаем, что наш дух необширен и ровен, а он повествует о высотах и райских куцах, о пропастях и пустынях духа. Но будем слушать, потому что он действительно был там, сам падал в бездны и всходил на вершины. За это порукою убежденность и отчетливость его рассказа, даже звук его голоса. Так может повествовать только очевидец. И воздадим ему высшую почесть, потому что он купил это знание дорогой ценой.*

*Таков и Пушкин, в числе других. Какое же особенное и ценное знание он сообщил нам? какой новый опыт, раньше неведомый, он вынес из своих трудных духовных странствий? Я говорю: в его поэзии заключено одно из важнейших открытий, какими мы обязаны*

поэтам; именно, он в пламенном духе своем узнал о духовной стихии, что она — огненной природы. Это одно он увидел и об этом неустанно рассказывал, как человек, опьяненный счастливой находкой, или как больной о болезни своей. Он действительно был и пьян, и болен, пьян изначальной пламенностью своего духа, и болен сознанием его постепенного угасания. Отсюда необычайная страстность и искренность его рассказа, но отсюда же и неполнота возвещенной им правды. Разумеется, было бы нелепо требовать от него больше, нежели он мог дать. Его открытие совершенно формально и потому недостаточно. Он поведал нам, что дух есть чистая динамика, огненный вихрь, что его нормальное состояние — раскаленность, а угасание — немощь. Показание безмерно важное, основное! Но ведь одним этим знанием не проживешь. Пушкин безотчетно упростил задачу, оградив человека со всех сторон фатализмом: жизнь безысходна, но зато и безответственна; пред властью стихии равно беспомощны зверь и человек. Человек в глазах Пушкина — лишь аккумулятор и орган стихии, более или менее емкий и послушный, но личности Пушкин не знает и не видит ее самозаконной воли. Его постигла участь столь многих гениев, ослепленных неполной истиной: подобно Пифагору, признавшему число самой сущностью бытия, Пушкин переоценил свое гениальное открытие. Оттого Пушкина непременно надо знать, но по Пушкину нельзя жить. Пламенем говорят все поэты, но о разном; он же пламенем говорил о пламени и в самом слове своем выявлял сущность духа.

Пушкина справедливо называют русским национальным поэтом; надо только вкладывать в эти слова определенный смысл. Как из-за Уральских гор вечно несетя ветер по великой русской равнине, день и ночь дует в полях и на улицах городов, так неусыпно бушует в русской душе необъятная стихийная сила, и хочет свободы, чтобы ничто не стесняло ее, и в то же время томится по гармонии, жаждет тишины и покоя. Как примирить эти два противоречивых желания? Запад давно решил трудную задачу: надо обуздать стихию разумом, нормами, законами. Русский народ, как мне кажется, ищет другого выхода и предчувствует другую возможность; неохотно, только уступая земной необходимости, он приемлет рассудочные нормы, всю же последнюю надежду свою возлагает на целостное преображение духовной стихии, какое совершается в огненном страдании, или в озарении высшей правдой, или в самоуглублении духа. Только так, мыслит он, возможно сочетание полной свободы с гармонией. Запад жертвует свободой ради гармонии, согласен урезать мощь стихии, лишь бы скорее добиться порядка. Русский народ этого именно не хочет, но стремится целостно согласовать движение с покоем. И те, в ком наиболее полно воплотился русский национальный дух, все безотчетно или сознательно бились в этой антиномии. И Лермонтов, и Тютчев, и Гоголь, и Толстой, и Достоевский, они все обожают беззаконную, буйную, первородную силу, хотят ее одной свободы, но и как тоскуют по святости и совершенству, по благолепию и тишине, как мучительно, каждый по иному, ищут выхода! В этом раздвоении русского народного духа Пушкин первый с огромной силой выразил волю своей страны. Он не только формулировал оба требования, раздирающие русскую душу, правда, больше выразив жажду свободы, нежели жажду совершенства (потому что он был восточнее России, в нем текла и арабская кровь); но умилением своим, этим молитвенным преклонением пред святостью и красотой, он и разрешил ту антиномию практически, действительно обрел гармонию в буйстве. В его личности ущербность сочеталась с полнотой; оттого его поэзия — не мятежное, но гармоническое горение; она элементарно жжет всех, кто приближается к ней, — так сказать, жаром своим разжигает скрытую горючесть всякой души. А это — драгоценный дар людям, ибо жар сердца нужен нам всем и всегда. Он один — родник правды и силы 9.

[ПРИМЕЧАНИЯ М. ГЕРШЕЗОНА]

- 1 Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений (1872—1873 гг.). 3-е изд. С. 55, 70 и 8.
- 2 Соловьев Вл. Значение поэзии Пушкина // Вестн. Европы. 1899. Декабрь. С. 709—711.
- 3 Овсяннико-Куликовский Д. Н. Пушкин: Произведения в стихотворной форме // История русской литературы XIX в. 1908. Вып. 5. С. 373—376.
- 4 В Дивеевском житии Серафима Саровского есть рассказ о девушке, святой, которая ходила, опустив глаза в землю, — не глядела.
- 5 В последней книжке А. С. Волжского (изд. «Путь») хорошо сказано о таком же, как у Пушкина, отношении русского простонародья к святым: умиляется на святость, но не возделает ее. — И немецкий поэт сказал: «Die Sterne, die begehrt man nicht».\*1
- 6 Св. Тереза определяет высшую форму экстаза, как чистое созерцание (*contemplatio pura*); это состояние характеризуется, по ее словам, совершенным замиранием как мысли и слова, так и воли: «Когда восхищение становится полным и общим, тогда человек не проявляет никакой деятельности, не совершает никаких поступков». Так учили и другие мистики.
- 7 Пушкин часто употребляет слово «разум» и в смысле рассудка, напр.:  
Пылать — и разумом всечасно  
Смирять волнение в крови.  
Ясно, что здесь говорится не о том «разуме», который восхваляется в «Вакхической песни». Сравн.: «Думы, — плоды подавленных страстей».
- 8 Сравн. в «Разговоре книгопр. с поэтом»:  
Одна бы в сердце пламенела  
Лампадой чистою любви...  
Это — та, в сердце, «святыня строгая», которая озаряет «спасенный чудом уголок».
- 9 Настоящая статья дважды удостоивалась внимания печати: когда, первоначально, была прочитана публично, и после появления ее в философском ежегоднике «Мысль и слово». Отвечать на возражения было бы излишне: ответить должна, насколько сумеет, вся эта книга. Но два упрека, сделанные мне, требуют фактического разъяснения. И. Н. Игнатов, изложив мою статью, писал: «Вы видите, какое пеннистое, какое искрометное шампанское. Страсть, разнузданность, ураган стихийного стремления! Лучшее самая пагубная страсть, лучшее сумасшествие, лучшее иступленность, чем разум. Долой эволюцию, долой прогресс, долой просвещение и науку! — И это все говорил Пушкин? Правда ли это? Неужели правда? Но, если мы вспомним, какая масса митингов происходила около него на Страстной площади, какие агитационные речи слышал он, не мудрено, что он сам ими заразился и стал говорить то, о чем не смел и думать в течение своей земной и послеземной жизни». И. Н. Игнатов так и озаглавил свой фельетон: «Пушкин-максималист» (Рус. Вед. 14 марта 1918 г.) Намек относится, конечно, к тем митингам, которые кипели вокруг памятника Пушкина в период большевистского переворота, т. е. в конце 1917-го и в начале 1918 г.; но моя статья была написана в царствование Николая II и публично читана в январе 1917 г.; следовательно, если я выставил его, по словам И. Н. Игнатова, «агитатором большевизма и анархизма», то сделал я это не под влиянием большевизма, о котором тогда и помина не было. — Другой упрек сделал мне Ю. И. Айхенвальд в «Речи» — упрек в том, что я умолчал о статье Д. С. Мережковского, в значительной степени превосходящей мои выводы. В плагиате я не повинен: я действительно раньше не читал статьи Мережковского о Пушкине. Прочитав ее теперь, я в полной мере признаю за нею первенство относительно многих существенных соображений о поэзии Пушкина, изложенных в моей статье, и радуюсь этим совпадениям. На другой, философский упрек Ю. И. Айхенвальда, — что я искажил понятие бездейственности, — правильно ответил за меня Н. Я. Абрамович, определив бездейственность, о которой идет речь, как «неподвижное созерцание, в глубине которого заключена величайшая и напряженнейшая внутренняя активность».

## Царь Никита и сорок его дочерей

Царь Никита жил когда-то  
Праздно, весело, богато,  
Не творил добра, ни зла,  
И земля его цвела.  
Царь трудился понемногу,  
Кушал, пил, молился богу  
И от разных матерей  
Прижил сорок дочерей,

Сорок девушек прелестных,  
Сорок ангелов небесных,  
Милых сердцем и душой.  
Что за ножка — боже мой,  
А головка, темный волос,  
Чудо — глазки, чудо — голос,  
Ум — с ума свести бы мог.  
Словом, с головы до ног  
Душу, сердце всё пленяло;  
Одного недоставало.  
Да чего же одного?  
Так, безделки, ничего.  
Ничего иль очень мало,  
Всё равно — недоставало.  
Как бы это изъяснить,  
Чтоб совсем не рассердить  
Богомольной важной дуры,  
Слишком чопорной цензуры?  
Как быть?.. Помогите мне, бог!  
У царевен между ног...  
Нет, уж это слишком ясно  
И для скромности опасно,—  
Так иначе как-нибудь:

Я люблю в Венере грудь,  
Губки, ножку особливо,  
Но любовное огниво,  
Цель желанья моего...  
Что такое?.. Ничего!..  
Ничего иль очень мало...  
И того-то не бывало  
У царевен молодых,  
Шаловливых и живых.  
Их чудесное рожденье  
Привело в недоуменье  
Все придворные сердца.  
Грустно было для отца  
И для матерей печальных.  
А от бабок повивальных  
Как узнал о том народ —

Всякий тут разинул рот,  
Ахал, охал, дивовался,  
И иной, хоть и смеялся,  
Да тихонько, чтобы в путь  
До Нерчинска не махнуть.  
Царь созвал своих придворных,  
Нянек, мамушек покорных —  
Им держал такой приказ:  
«Если кто-нибудь из вас  
Дочерей греху научит,  
Или мыслить их приучит,  
Или только намекнет,  
Что у них недостает,  
Иль двусмысленное скажет,  
Или кукиш им покажет,—  
То — шутить я не привык —  
Бабам вырежу язык,  
А мужчинам нечто хуже,  
Что порой бывает туже».  
Царь был строг, но справедлив,  
А приказ красноречив;  
Всяк со страхом поклонился,  
Остеречься всяк решился,  
Ухо всяк держал остро  
И хранил свое добро.  
Жены бедные боялись,  
Чтоб мужья не проболтались;

Втайне думали мужья:

«Провинись, жена моя!»  
(Видно, сердцем были гневны).  
Подросли мои царевны.  
Жаль их стало. Царь — в совет;  
Изложил там свой предмет:  
Так и так — довольно ясно,  
Тихо, шепотом, негласно,  
Осторожнее от слуг.  
Призадумались бояры,  
Как лечить такой недуг.  
Вот один советник старый  
Поклонился всем — и вдруг  
В лысый лоб рукою брякнул  
И царю он так вавакнул:  
«О, премудрый государь!  
Не взыщи мою ты дерзость,  
Если про плотскую мерзость  
Расскажу, что было встарь.  
Мне была знакома сводня  
(Где она? и чем сегодня?)

Верно тем же, чем была).  
Баба ведьмою слыла,  
Всем недугам пособляла,  
Немощь членов исцеляла.  
Вот ее бы разыскать;  
Ведьма дело всё поправит:  
А что надо — то и вставит».  
— «Так за ней сейчас послать!—  
Воскликает царь Никита,  
Брови сдвинувши сердито:  
— Тотчас ведьму отыскать!  
Если ж нас она обманет,  
Чего надо не достанет,  
На бобах нас проведет,  
Или с умыслом солжет,—  
Будь не царь я, а бездельник,  
Если в чистый понедельник  
Сжечь колдунью не велю:  
И тем небо умолю».

Вот секретно, осторожно,  
По курьерской подорожной

И во все земли концы  
Были посланы гонцы.  
Они скачут, всюду рыщут  
И царю колдунью ищут.  
Год проходит и другой —  
Нету вести никакой.  
Наконец один ретивый  
Вдруг напал на след счастливый.  
Он заехал в темный лес  
(Видно, вел его сам бес),  
Видит он: в лесу избушка,  
Ведьма в ней живет, старушка.  
Как он был царев посол,  
То к ней прямо и вошел,  
Поклонился ведьме смело,  
Изложил цареве дело:  
Как царевны рождены  
И чего все лишены.  
Ведьма мигом всё смекнула...  
В дверь гонца она толкнула,  
Так примолвив: «Уходи  
Поскорей и без оглядки,  
Не то — бойся лихорадки...  
Через три дня приходи  
За посылкой и ответом,  
Только помни — чуть с рассветом».  
После ведьма заперлась.  
Уголечком запаслась,  
Трое суток ворожила,

Так что беса приманила.  
Чтоб отправить во дворец,  
Сам принес он ей ларец,  
Полный грешными вещами,  
Обожаемыми нами.  
Там их было всех сортов,  
Всех размеров, всех цветов,  
Всё отборные, с кудрями...  
Ведьма все перебрала,  
Сорок лучших оточла,  
Их в салфетку завернула  
И на ключ в ларец замкнула,  
С ним отправила гонца,  
Дав на путь серебреца.

Едет он. Заря зарделась...  
Отдых сделать захотелось,  
Захотелось закусить,  
Жажду водкой утолить:  
Он был малый аккуратный,  
Всем запасся в путь обратный.  
Вот коня он разнуздал  
И покойно кушать стал.  
Конь пасется. Он мечтает,  
Как его царь вознесет,  
Графом, князем назовет.  
Что же ларчик заключает?  
Что царю в нем ведьма шлет?  
В щелку смотрит: нет, не видно  
Заперт плотно. Как обидно!  
Любопытство страх берет  
И всего его тревожит.  
Ухо он к замку приложит —  
Ничего не чует слух;  
Нюхает — знакомый дух...  
Тьфу ты пропасть! что за чудо?  
Посмотреть ей-ей не худо.  
И не вытерпел гонец...  
Но лишь отпер он ларец,  
Птички — порх и улетели,  
И кругом на сучьях сели,  
И хвостами завертели.  
Наш гонец давай их звать,  
Сухарями их прельщать:  
Крошки сыплет — всё напрасно  
(Видно, кормятся не тем):  
На сучках им петь прекрасно,  
А в ларце сидеть зачем?  
Вот тащится вдоль дороги,  
Вся согнувшись дугой,  
Баба старая с клюкой.  
Наш гонец ей бухнул в ноги:

«Пропаду я с головой!  
Помоги, будь мать родная!  
Посмотри, беда какая:  
Не могу их изловить!  
Как же горю пособить?»  
Вверх старуха посмотрела,

Плюнула и прошипела:

«Поступил ты хоть и скверно,  
Но не плачься, не тужи...  
Ты им только покажи —  
Сами все слетят наверно».  
— «Ну, спасибо!» — он сказал..  
И лишь только показал —  
Птички вмиг к нему слетели  
И квартирой овладели.  
Чтоб беды не знать другой,  
Он без дальних отговорок  
Тотчас их под ключ, все сорок,  
И отправился домой.  
Как княжны их получили,  
Прямо в клетки посадили.  
Царь на радости такой  
Задал тотчас пир горой:  
Семь дней сряду пировали,  
Целый месяц отдыхали;  
Царь совет весь наградил,  
Да и ведьму не забыл:  
Из кунсткамеры в подарок  
Ей послал в спирту огарок  
(Тот, который всех дивил),  
Две ехидны, два скелета  
Из того же кабинета...  
Награжден был и гонец.  
Вот и сказочки конец.

---

Многие меня поносят  
И теперь, пожалуй, спросят:  
Глупо так зачем шучу?  
Что за дело им? Хочу.

**Гаврилиада**

**Поэма**

Воистину еврейки молодой

Мне дорого душевное спасенье.  
Приди ко мне, прелестный ангел мой,  
И мирное прими благословенье.  
Спасти хочу земную красоту!  
Любезных уст улыбкою довольный,  
Царю небес и господу Христу  
Пою стихи на лире богомольной.  
Смиранных струн, быть может, наконец  
Ее пленят церковные напевы,  
И дух святой сойдет на сердце девы;  
Властитель он и мыслей и сердец.

Шестнадцать лет, невинное смиренье,  
Бровь темная, двух девственных холмов  
Под полотном упругое движенье,  
Нога любви, жемчужный ряд зубов...  
Зачем же ты, еврейка, улыбнулась,  
И по лицу румянец пробежал?  
Нет, милая, ты право обманулась:  
Я не тебя, - Марию описал.

В глуши полей, вдали Ерусалима,  
Вдали забав и юных волокит  
(Которых бес для гибели хранит),  
Красавица, никем еще не зрима,  
Без прихотей вела спокойный век.  
Ее супруг, почтенный человек,  
Седой старик, плохой столяр и плотник,  
В селенье был единственный работник.  
И день и ночь, имея много дел  
То с уровнем, то с верною пилою,  
То с топором, не много он смотрел  
На прелести, которыми владел,  
И тайный цвет, которому судьбою  
Назначена была иная честь,  
На стебельке не смел еще процвести.  
Ленивый муж своею старой лейкой  
В час утренний не орошал его;  
Он как отец с невинной жил еврейкой,  
Ее кормил - и больше ничего.

Но, с праведных небес во время оно  
Всевышний бог склонил приветный взор  
На стройный стан, на девственное лоно  
Рабы своей - и, чувствуя задор,  
Он положил в премудрости глубокой  
Благословить достойный вертоград,  
Сей вертоград, забытый, одинокий,  
Щедрою таинственных наград.

Уже поля немая ночь объемлет;  
В своем углу Мария сладко дремлет.

Всевышний рек, - и деве снится сон:  
Пред нею вдруг открылся небосклон;  
Во глубине небес необозримой,  
В сиянии и славе нестерпимой  
Тьмы ангелов волнуются, кипят,  
Бесчисленны летают серафимы,  
Струнами арф бряцают херувимы,  
Архангелы в безмолвии сидят,  
Главы закрыв лазурными крылами, -  
И, яркими одеян облаками,  
Предвечного стоит пред ними трон.  
И светел вдруг очам явился он...  
Все пали ниц... Умолкнул арфы звон.  
Склонив главу, едва Мария дышит,  
Дрожит как лист и голос бога слышит:  
"Краса земных любезных дочерей,  
Израиля надежда молодая!  
Зову тебя, любовьию пылая,  
Причастница ты славы будь моей:  
Готова будь к неведовой судьбине,  
Жених грядет, грядет к своей рабыне".

Вновь облаком оделся божий трон;  
Восстал духов крылатый легион,  
И раздалась небесной арфы звуки...  
Открыв уста, сложив умильно руки,  
Лицу небес Мария предстоит.  
Но что же так волнует и манит  
Ее к себе внимательные взоры?  
Кто сей в толпе придворных молодых  
С нее очей не сводит голубых?  
Пернатый шлем, роскошные уборы,  
Сиянье крил и локонов золотых,  
Высокий стан, взор томный и стыдливый -  
Все нравится Марии молчаливой.  
Замечен он, один он сердцу мил!  
Гордись, гордись, архангел Гавриил!  
Пропало все. - Не внемля детской пени,  
На полотне так исчезают тени,  
Рожденные в волшебном фонаре.

Красавица проснулась на заре  
И нежилась на ложе томной лени.  
Но дивный сон, но милый Гавриил  
Из памяти ее не выходил.  
Царя небес любить она хотела,  
Его слова приятны были ей,  
И перед ним она благоговела, -  
Но Гавриил казался ей милей...  
Так иногда супругу генерала  
Затянутый прельщает адъютант.  
Что делать нам? судьба так приказала, -

Согласны в том невежда и педант.

Поговорим о странностях любви  
(Другого я не смыслю разговора).  
В те дни, когда от огненного взора  
Мы чувствуем волнение в крови,  
Когда тоска обманчивых желаний  
Объемлет нас и душу тяготит,  
И всюду нас преследует, томит  
Предмет один и думы и страданий, -  
Не правда ли? в толпе молодых друзей  
Наперсника мы ищем и находим.  
С ним тайный глас мучительных страстей  
Наречием восторгов переводим.  
Когда же мы поймали на лету  
Крылатый миг небесных упоений  
И к радостям на ложе наслаждений  
Стыдливую склонили красоту,  
Когда любви забыли мы страданье  
И нечего нам более желать, -  
Чтоб оживить о ней воспоминанье,  
С наперсником мы любим поболтать.

И ты, господь! познал ее волнение,  
И ты пылал, о боже, как и мы.  
Создателю постыло все творенье,  
Наскучило небесное моление, -  
Он сочинял любовные псалмы  
И громко пел: "Люблю, люблю Марию,  
В унынии бессмертие влачу...  
Где крылья? к Марии полечу  
И на груди красавицы почию!.."  
И прочее... все, что придумать мог, -  
Творец любил восточный, пестрый слог.  
Потом, призвав любимца Гавриила,  
Свою любовь он прозой объяснял.  
Беседы их нам церковь утаила,  
Евангелист немного оплошал!  
Но говорит армянское преданье,  
Что царь небес, не пожалев похвал,  
В Меркурии архангела избрал,  
Заметя в нем и ум и дарованье, -  
И вечерком к Марии подослал.  
Архангелу другой хотелось чести:  
Нередко он в посольствах был счастлив;  
Переносить записочки да вести  
Хоть выгодно, но он самолюбив.  
И славы сын, намеренья сокрыв,  
Стал нехотя услужливый угодник  
Царю небес... а по-земному сводник.

Но, старый враг, не дремлет сатана!

Услышал он, шатаясь в белом свете,  
Что бог имел еврейку на примете,  
Красавицу, которая должна  
Спасти наш род от вечной муки ада.  
Лукавому великая досада -  
Хлопочет он. Всевышний между тем  
На небесах сидел в унынье сладком,  
Весь мир забыв, не правил он ничем -  
И без него все шло своим порядком.

Что ж делает Мария? Где она,  
Иосифа печальная супруга?  
В своем саду, печальных дум полна,  
Проводит час невинного досуга  
И снова ждет пленительного сна.  
С ее души не сходит образ милый,  
К архангелу летит душой унылой.  
В прохладе пальм, под говором ручья  
Задумалась красавица моя;  
Не мило ей цветов благоуханье,  
Не весело прозрачных вод журчанье...  
И видит вдруг: прекрасная змия,  
Приманчивой блистая чешуею,  
В тени ветвей качается над нею  
И говорит: "Любимица небес!  
Не убегай, - я пленник твой послушный..."  
Возможно ли? О, чудо из чудес!  
Кто ж говорил Марии простодушной,  
Кто ж это был? Увы, конечно, бес.

Краса змии, цветов разнообразность,  
Ее привет, огонь лукавых глаз  
Понравились Марии в тот же час.  
Чтоб усладить младого сердца праздность,  
На сатане покоя нежный взор,  
С ним завела опасный разговор:

"Кто ты, змия? По льстивому напеву,  
По красоте, по блеску, по глазам -  
Я узнаю того, кто нашу Еву  
Привлечь успел к таинственному древу  
И там склонил несчастную к грехам.  
Ты погубил неопытную деву,  
А с нею весь Адамов род и нас.  
Мы в бездне бед неволью потонули.  
Не стыдно ли?"  
- Попы вас обманули,  
И Еву я не погубил, а спас! -  
"Спас! от кого?"  
- От бога. -  
"Враг опасный!"  
- Он был влюблен... -

"Послушай, берегись!"

- Он к ней пылал -

"Молчи!"

- любовью страстной,

Она была в опасности ужасной. -

"Змия, ты лжешь!

- Ей-богу! -

"Не божись".

- Но выслушай... -

Подумала Мария:

"Не хорошо в саду, наедине,

Украдкою внимать наветам змия,

И кстати ли поверить сатане?

Но царь небес меня хранит и любит,

Всевышний благ: он, верно, не погубит

Своей рабы, - за что ж? за разговор!

К тому же он не даст меня в обиду,

Да и змия скромна довольно с виду.

Какой тут грех? где зло? пустое, вздор!"

Подумала и ухо приклонила,

Забыв на час любовь и Гавриила.

Лукавый бес, надменно развернув

Гремучий хвост, согнув дугою шею,

С ветвей скользит - и падает пред нею;

Желаний огонь во грудь ее вдохнув,

Он говорит:

"С рассказом Моисея

Не соглашу рассказа моего:

Он вымыслом хотел пленить еврея,

Он важно лгал, - и слушали его.

Бог наградил в нем слог и ум покорный,

Стал Моисей известный господин,

Но я, поверь, - историк не придворный,

Не нужен мне пророка важный чин!

Они должны, красавицы другие,

Завидовать огню твоих очей;

Ты рождена, о скромная Мария,

Чтоб изумлять Адамовых детей,

Чтоб властвовать их легкими сердцами,

Улыбкою блаженство им дарить,

Сводить с ума двумя-тремя словами,

По прихоти - любить и не любить...

Вот жребий твой. Как ты - младая Ева

В своем саду скромна, умна, мила,

Но без любви в унынии цвела;

Всегда одни, глаз-на-глаз, муж и дева

На берегах Эдема светлых рек

В спокойствии вели невинный век.

Скучна была их дней однообразность.

Ни роци сень, ни молодость, ни праздность -

Ничто любви не воскрешало в них;  
Рука с рукой гуляли, пили, ели,  
Зевали днем, а ночью не имели  
Ни страстных игр, ни радостей живых...  
Что скажешь ты? Тиран несправедливый,  
Еврейский бог, угрюмый и ревнивый,  
Адамову подругу полюбя,  
Ее хранил для самого себя...  
Какая честь и что за наслажденье!  
На небесах как будто в заточенье,  
У ног его молися да молись,  
Хвали его, красе его дивись,  
Взглянуть не смей украдкой на другого,  
С архангелом тихонько молвить слово;  
Вот жребий той, которую творец  
Себе возьмет в подруги наконец.  
И что ж потом? За скуку, за мученье,  
Награда вся дьячков осиплых пенье,  
Свечи, старух докучная мольба,  
Да чад кадил, да образ под алмазом,  
Написанный каким-то богомазом...  
Как весело! Завидная судьба!

Мне стало жаль моей прелестной Евы;  
Решился я, создателю назло,  
Разрушить сон и юноши и девы.  
Ты слышала, как все произошло?  
Два яблока, вися на ветке дивной  
(Счастливый знак, любви символ призывный),  
Открыли ей неясную мечту,  
Проснулося неясное желанье:  
Она свою познала красоту,  
И негу чувств, и сердца трепетанье,  
И юного супруга наготу!  
Я видел их! любви - моей науки -  
Прекрасное начало видел я.  
В глухой лесок ушла чета моя...  
Там быстро их блуждали взгляды, руки...  
Меж милых ног супруги молодой,  
Заботливый, неловкий и немой,  
Адам искал восторгов упоенья,  
Неистовым исполненный огнем,  
Он вопрошал источник наслажденья  
И, закипев душой, терялся в нем...  
И, не страшась божественного гнева,  
Вся в пламени, власы раскинув, Ева,  
Едва, едва устами шевеля,  
Лобзанием Адаму отвечала,  
В слезах любви, в бесчувствии лежала  
Под сенью пальм, - и юная земля  
Любовников цветами покрывала.

Блаженный день! Увенчанный супруг  
Жену ласкал с утра до темной ночи,  
Во тьме ночной смыкал он редко очи,  
Как их тогда украшен был досуг!  
Ты знаешь: бог, утечи прерывая,  
Чету мою лишил навеки рая.  
Он их изгнал из милой стороны,  
Где без трудов они так долго жили  
И дни свои невинно проводили  
В объятиях ленивой тишины.  
Но им открыл я тайну сладострастья  
И младости веселые права,  
Томленья чувств, восторги, слезы счастья,  
И поцелуй, и нежные слова.  
Скажи теперь: ужели я предатель?  
Ужель Адам несчастлив от меня?  
Не думаю! но знаю только я,  
Что с Евою остался я приятель".

Умолкнул бес. Мария в тишине  
Коварному внимала сатане.  
"Что ж? - думала, - быть может, прав лукавый;  
Слыхала я: ни почестями, ни славой,  
Ни золотом блаженства не купить;  
Слыхала я, что надобно любить...  
Любить! Но как, зачем и что такое?.."  
А между тем вниманье молодое  
Ловило все в рассказе сатаны:  
И действия, и странные причины,  
И смелый слог, и вольные картины...  
(Охотники мы все до новизны.)  
Час от часу неясное начало  
Опасных дум казалось ей ясней,  
И вдруг змии как будто не бывало -  
И новое явленье перед ней:  
Мария зрит красавца молодого  
У ног ее. Не говоря ни слова,  
К ней устремив чудесный блеск очей,  
Чего-то он красноречиво просит,  
Одной рукой цветочек ей подносит,  
Другая мнет простое полотно  
И крадется под ризы торопливо,  
И легкий перст касается игриво  
До милых тайн... Все для Марии диво,  
Все кажется ей ново, мудрено.  
А между тем румянец нестыдливый  
На девственных ланитах заиграл -  
И томный жар, и вздох нетерпеливый  
Младую грудь Марии подымал.  
Она молчит; но вдруг не стало мочи,  
Едва дыша, закрыла томны очи,  
К лукавому склонив на грудь главу,

Вскричала: ах!.. и пала на траву...

О милый друг! кому я посвятил  
Мой первый сон надежды и желанья,  
Красавица, которой был я мил,  
Простишь ли мне мои воспоминанья,  
Мои грехи, забавы юных дней,  
Те вечера, когда в семье твоей,  
При матери докучливой и строгой  
Тебя томил я тайною тревогой  
И просветил невинные красы?  
Я научил послушливую руку  
Обманывать печальную разлуку  
И услаждать безмолвные часы,  
Бессонницы девическую муку.  
Но молодость утрачена твоя,  
От бледных уст улыбка отлетела,  
Твоя краса во цвете помертвела...  
Простишь ли мне, о милая моя?

Отец греха, Марии враг лукавый,  
Ты был и здесь пред нею виноват;  
ЕЕ тебе приятен был разврат,  
И ты успел преступною забавой  
Всевышнего супругу просветить  
И дерзостью невинность изумить.  
Гордись, гордись своей проклятой славой!  
Спеши ловить... но близок, близок час!  
Вот меркнет день, заката луч угас.  
Все тихо. Вдруг над девой утомленной,  
Шумя, парит архангел окриленный, -  
Посол любви, блестящий сын небес.

От ужаса при виде Гавриила  
Красавица лицо свое закрыла...  
Пред ним восстал, смутился мрачный бес  
И говорит: "Счастливец горделивый,  
Кто звал тебя? Зачем оставил ты  
Небесный двор, эфира высоты?  
Зачем мешать утехе молчаливой,  
Занятиям чувствительной четы?"  
Но Гавриил, нахмуря взгляд ревнивый,  
Рек на вопрос и дерзкий и шуточный:  
"Безумный враг небесной красоты,  
Повеса злой, изгнанник безнадежный,

Ты соблазнил красу Марии нежной  
И смеешь мне вопросы задавать!  
Беги сейчас, бесстыдник, раб мятежный,  
Иль я тебя заставлю трепетать!"  
"Не трепетал от ваших я придворных,  
Всевышнего прислужников покорных,

От сводников небесного царя!" -  
Проклятый рек и, злобою горя,  
Наморщив лоб, скосясь, кусая губы,  
Архангела ударил прямо в зубы.  
Раздался крик, шатнулся Гавриил  
И левое колено преклонил;  
Но вдруг восстал, исполнен новым жаром,  
И сатану нечаянным ударом  
Хватил в висок. Бес ахнул, побледнел -  
И кинулись в объятия друг другу.  
Ни Гавриил, ни бес не одолел.  
Сплетенные, кружась идут по лугу,  
На вражью грудь опершись бородой,  
Соединив крест-накрест ноги, руки,  
То силою, то хитростью науки  
Хотят увлечь друг друга за собой.

Не правда ли? вы помните то поле,  
Друзья мои, где в прежни дни, весной,  
Оставя класс, играли мы на воле  
И тешились отважною борьбой.  
Усталые, забыв и брань и речи,  
Так ангелы боролись меж собой.  
Подземный царь, буян широкоплечий,  
Вотще кряхтел с увертливым врагом,  
И, наконец, желая кончить разом,  
С архангела пернатый сбил шелом,  
Златой шелом, украшенный алмазом.  
Схватив врага за мягкие волосы,  
Он сзади гнет могучею рукою  
К сырой земле. Мария пред собою  
Архангела зрит юные красы  
И за него в безмолвии трепещет.  
Уж ломит бес, уж ад в восторге плещет;  
Но, к счастью, проворный Гавриил  
Впился ему в то место роковое  
(Излишнее почти во всяком бое),  
В надменный член, которым бес грешил.  
Лукавый пал, пощады запросил  
И в темный ад едва нашел дорогу.

На дивный бой, на страшную тревогу  
Красавица глядела чуть дыша;  
Когда же к ней, свой подвиг соверша,  
Приветливо архангел обратился,  
Огонь любви в лице ее разлился  
И нежностью исполнилась душа.  
Ах, как была еврейка хороша!..

Посол краснел и чувства чужие  
Так изъяснял в божественных словах:  
"О радуйся, невинная Мария!

Любовь с тобой, прекрасна ты в женах;  
Стократ блажен твой плод благословенный:  
Спасет он мир и ниспровергнет ад...  
Но признаюсь душою откровенной,  
Отец его блаженнее стократ!"  
И перед ней коленопреклоненный,  
Он между тем ей нежно руку жал...  
Потупя взор, прекрасная вздыхала,  
И Гавриил ее поцеловал.  
Смутясь, она краснела и молчала;  
Ее груди дерзнул коснуться он...  
"Оставь меня!" - Мария прошептала,  
И в тот же миг лобзаньем заглушен  
Невинности последний крик и стон...

Что делать ей? Что скажет бог ревнивый?  
Не сетуйте, красавицы мои,  
О женщины, наперсницы любви,  
Умеете вы хитростью счастливой  
Обманывать вниманье жениха  
И знатоков внимательные взоры,  
И на следы приятного греха  
Невинности набрасывать уборы...  
От матери проказливая дочь  
Берет урок стыдливости покорной  
И мнимых мук, и с робостью притворной  
Играет роль в решительную ночь;  
И поутру, оправясь понемногу,  
Встает бледна, чуть ходит, так томна.  
В восторге муж, мать шепчет: слава богу!  
А старый друг стучится у окна.

Уж Гавриил с известием приятным  
По небесам летит путем обратным.  
Наперсника нетерпеливый бог  
Приветствием встречает благодатным:  
"Что нового?" - Я сделал все, что мог,  
Я ей открыл. - "Ну что ж она?" - Готова! -  
И царь небес, не говоря ни слова,  
С престола встал и манием бровей  
Всех удалил, как древле бог Гомера,  
Когда смирял бесчисленных детей;  
Но Греции навек угасла вера,  
Зевеса нет, мы сделались умней!

Упоена живым воспоминаньем,  
В своем углу Мария в тишине  
Покоилась на смятой простыне.  
Душа горит и негой и желаньем,  
Младую грудь волнует новый жар.  
Она зовет тихонько Гавриила,  
Его любви готова тайный дар,

Ночной покров ногою отдалила,  
Довольный взор с улыбкою склонила,  
И, счастлива в прелестной нагоде,  
Сама своей дивится красоте.  
Но между тем в задумчивости нежной  
Она грешит, прелестна и томна,  
И чашу пьет отрады безмятежной.  
Смеешься ты, лукавый сатана!  
И что же! вдруг мохнатый, белокрылый  
В ее окно влетает голубь милый,  
Над нею он порхает и кружит,  
И пробует веселые напевы,  
И вдруг летит в колени милой девы,  
Над розою садится и дрожит,  
Клюет ее, колышется, ветится,  
И носиком и ножками трудится.  
Он, точно он! - Мария поняла,  
Что в голубе другого угощала;  
Колени сжав, еврейка закричала,  
Вздыхать, дрожать, молиться начала,  
Заплакала, но голубь торжествует,  
В жару любви трепещет и воркует,  
И падает, объятый легким сном,  
Приосеня цветок любви крылом.

Он улетел. Усталая Мария  
Подумала: "Вот шалости какие!  
Один, два, три! - как это им не лень?  
Могу сказать, перенесла тревогу:  
Досталась я в один и тот же день  
Лукавому, архангелу и богу".

Всевышний бог, как водится, потом  
Признал своим еврейской девы сына,  
Но Гавриил (завидная судьбина!)  
Не престаивал являться ей тайком;  
Как многие, Иосиф был утешен,  
Он пред женой по-прежнему безгрешен,  
Христа любил как сына своего,  
За то господь и наградил его!

Аминь, аминь! Чем кончу я рассказы?  
Навек забыв старинные проказы,  
Я пел тебя, крылатый Гавриил,  
Смиранных струн тебе я посвятил  
Усердное, спасительное пенье.  
Храни меня, внемли мое моление!  
Досель я был еретиком в любви,  
Младых богинь безумный обожатель,  
Друг демона, повеса и предатель...  
Раскаянье мое благослови!  
Приемлю я намеренья благие,

Переменюсь: Елену видел я;  
Она мила, как нежная Мария!  
Подвластна ей навек душа моя.  
Моим речам придай очарованье,  
Понравиться поведай тайну мне,  
В ее душе зажги любви желанье,  
Не то пойду молиться сатане!  
Но дни бегут, и время сединою  
Мою главу тишком посеребрят,  
И важный брак с любезною женою  
Пред алтарем меня соединит.  
Иосифа прекрасный утешитель!  
Молю тебя, колена преклоня,  
О рогачей заступник и хранитель,  
Молю - тогда благослови меня,  
Даруй ты мне блаженное терпенье,  
Молю тебя, пошли мне вновь и вновь  
Спокойный сон, в супруге уверенье,  
В семействе мир и к ближнему любовь.

## Николай Васильевич Гоголь

### Об авторе:<sup>59</sup>

В. Г. Короленко. Трагедия великого юмориста. (Несколько мыслей о Гоголе)<sup>60</sup>

#### I

*Кто не помнит конца веселой Сорочинской ярмарки. Свадьба... "От удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами... Все несло, все танцовало"...*

Но вот:

*"Гром, хохот, песни слышатся все тише и тише, смычок умирает, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо... Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит он уже грусть и пустынно и дико внемлет ему. Не так ли резвые друзья бурной и вольной юности, по одиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их... Скучно оставленному! И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему"...*

*Это написано в 1829 году. Значит, этот крик щемящей тоски вслед за кипучим и бьющим через край весельем вырвался из груди двадцатилетнего юноши!*

*Таких смен настроения в произведениях Гоголя очень много, и они указывают на глубокую, прирожденную черту темперамента. Именно прирожденную: это было наследство, полученное великим русским юмористом от отца.*

*Уже биография Василья Афанасьевича Гоголя дает черты таких же смен меланхолии и веселья. Здоровье его с детства было ненадежно. "Васюта, слава богу, по силе своих сил*

---

<sup>59</sup> Собрание сочинений. Том 5. Литературно-критические статьи и воспоминания. Библиотека "Огонек". Изд-во "Правда", Москва, 1953.

<sup>60</sup> Впервые напечатано в четвертой и пятой книгах журнала "Русское богатство" за 1909 год под заглавием "Трагедия писателя". Написано в связи со столетием со дня рождения Н. В. Гоголя.

и дарований, успеваает, -- писал о нем, малолетке, его учитель.-- Я его понуждаю к учению, соображаясь всегда силам его телесным, которые усматриваются невелики". В одном письме к Д. П. Троцинскому сам Василий Афанасьевич объясняет свое отсутствие на службе в почтамте, где он числился, какими-то тягостными и продолжительными припадками. Отголоски этих жалоб звучали даже в письмах к невесте: "Милая Машенька, -- слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце" {П. Е. Щеголев, "Отец Гоголя" ("Историч. вестн.", февр. 1902).}.

Во внешних обстоятельствах личной жизни как будто не было никаких причин для такого "лютого отчаяния". Наоборот, судьба щадила хрупкое создание: существование Василья Афанасьевича складывалось спокойно и счастливо. Полюбив Марью Ивановну Косяровскую, он стал ухаживать за нею поэтично и робко. Об этой идиллии сама Марья Ивановна следующими образом рассказывает в своих воспоминаниях:

"Когда я, бывало, гуляю с девушками по реке Пслу, то слышала приятную музыку из-за кустов другого берега. Нетрудно было догадаться, что это был он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопутствовала мне до самого дома..." Бесхитростное ухаживание увенчалось успехом. Василий Афанасьевич женился, имел детей и жил мирною жизнью украинского помещика. Вопросы высшего порядка, по-видимому, не тревожили простую душу. Он был прекрасный рассказчик, гостей умел смешить анекдотами, легко подмечал смешные черты у людей, но смеялся безобидно и благодушно. Легко сочинял стихи, но никогда не брался за это серьезно. Писал на малорусском языке комедии, в которых являлся смешной украинский чорт, дьячок в долгополом хитоне, неповоротливый дядько, лукавая молодница и т. д. Это был наивный репертуар первоначального украинского театра. "Шутка и песня для приятного провождения времени,-- говорит биограф, -- вот все, что мог искать тогдашний писатель в родном быту. И Гоголь-отец очень умело и искусно почерпал из него элементы для своей комедии". В мозгу отца роились, очевидно, те же юмористические образы, с которых сын впоследствии начал свою писательскую карьеру...

Так шла жизнь Василья Афанасьевича Гоголя, тихо и безмятежно. "Амуры венчали" его семейное счастье в той самой усадьбе, где под звуки "приятной музыки" зародилась его любовь. Простодушные соседи считали его анекдотистом, рассказчиком, весельчаком. Ни служебное, ни писательское честолюбие не смущали его настроения. Но вместе с тем припадки "странного воображения" и "лютого отчаяния" сменяли веселые шутки. Он был страшно мнителен, часто впадал в меланхолию и умер на сорок пятом году. Гоголь писал впоследствии, что отец его умер не от какой-нибудь определенной болезни, а только единственно "от страха смерти".

Этот "страх смерти" Николай Васильевич Гоголь получил от отца, как роковое наследство. Вообще в организации и темпераменте сына Гоголь-отец повторился довольно точно, только в сильно увеличенном и более ярком виде. Так маленькая картинка, запертая в ящик волшебного фонаря, светится, увеличенная на огромном экране...

Уже с детства сказываются в темпераменте сына те же неровности и противоречия: он бывал то заразительно весел, остроумен, отлично играл на сцене, то впадал в ипохондрию и отчаяние. "Я почитаюсь загадкою для всех,-- писал он матери, -- никто не разгадал меня совершенно..." "Под видом иногда для других холодным таилось у меня желание кипучей веселости", и часто "в часы задумчивости разгадывал я науку веселой, счастливой жизни".

Маленький талант Гоголя-отца был бессознателен. Он употреблял его на увеселение соседей и на украшение праздников вельможного родственника Троцинского. Сын уже с детства ощущает в душе присутствие гениальности, которая должна сделать его жизнь не заурядной жизнью простых "существователей". Но наряду с этим его сторожит и отцовский страх смерти, которая может помешать ему выполнить свое

"предназначение". "С самых лет почти непонимания, -- пишет Гоголь своему дяде Косяровскому, -- я пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хоть малейшую пользу. Холодный пот проскальзывал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом... Быть в мире и не означить своего существования -- это было бы ужасно..."

Впоследствии в своих сочинениях Гоголь дал поразительные описания этого ощущения, и это чуть не единственные места, которые носят явно автобиографический характер.

Читатель, конечно, помнит смерть Пульхерии Ивановны в "Старосветских помещиках", но я все-таки приведу здесь вкратце эту замечательную картину.

У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая почти всегда лежала, свернувшись клубком, у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцами по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкла ее всегда видеть.

За садом старосветских помещиков находился большой запущенный лес. В этом лесу обитали дикие коты, которых не следует смешивать с котами цивилизованными. Это народ большей частью мрачный, ходят они тощие, худые и мяукают грубым, необработанным голосом. Вообще никакие благородные чувства им не известны. Эти-то дикари сманили у Пульхерии Ивановны ее цивилизованную кошечку, как отряд разнузданных солдат-мародеров сманивает глупую крестьянку...

Прошло три дня, и кошка явилась опять, худая, тощая... Пульхерия Ивановна позвала ее в комнату, накормила, хотела погладить, но... кошка выпрыгнула в окно, и никто ее уже не мог поймать.

Это непонятное поведение баловницы, отдавшей предпочтение голодному, дикому существованию перед обеспеченностью и сытым покоем, поражает старушку. Ее воображение, давно привыкшее к простоте и, так сказать, полной прозрачности окружающей жизни в ограниченном круге, не может вместить странного явления, и она решает, что это за нею приходила ее смерть.

Весь день она была скучна... Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так загрустила. Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела и объявила Афанасию Ивановичу, что она скоро умрет. Эта идея укоренялась все сильнее. Через несколько дней она слегла, не могла уже принимать никакой пищи, а затем "после долгого молчания хотела что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело".

Нужно ли напоминать, что совершенно так же умер и Афанасий Иванович. Однажды он вышел прогуляться по саду. Когда он шел по аллее, -- ему вдруг показалось, что кто-то позвал его: "Афанасий Иванович!.." Он оборотился, но никого совершенно не было... День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался, а потом решил, что "это его зовет Пульхерия Ивановна". "Он весь покорился этому своему убеждению, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и наконец угас так же, как она, когда уже ничего не осталось, что могло бы поддержать бедное ее пламя..."

Итак, -- это уже другая смерть от душевного угнетения. Третью мы знаем: Гоголь-отец тоже умер не от какой-нибудь "соматической болезни", а только от страха смерти.

Наконец, в том же рассказе Гоголь говорит уже прямо о себе: "Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, после которого неминуемо следует смерть. Признаюсь, мне всегда был с т р а ш е н этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал: иногда вдруг

позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди ясного дня. Я обыкновенно бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню".

Это -- не простая работа объективно художественного воображения. Нет, это живое, осязательное ощущение. И замечательно, что оно беспричинно и беспредметно. Оно не вызывается особыми внешними обстоятельствами; наоборот: для него нужно исключительное однообразие существования, полное душевное и внешнее затишье... Ни лист не шелохнется, ни кузнечик не закричит. А внутри сердечная пустыня. И в этой пустыне, лишенной и других внутренних ощущений и впечатлений внешнего мира, подымается из бессознательной глубины предчувствие какого-то рокового, бессмысленного, непонятного, б е с п р и ч и н н о г о, то есть чуждого душевной организации, расстройства, которое будет давить на мозг и звать непонятными голосами мировой тайны...

В самых ранних юношеских письмах Гоголь выражает убеждение, что жизнь его будет коротка. "Исполнятся ли высокие предначертания? Или неизвестность зароев их в мрачной туче своей?" {Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока, I, 89.} -- спрашивает Гоголь-юноша, еще не выбравший жизненной дороги. "Я дорожу минутами жизни, потому что не думаю, чтобы она была долговечна", -- пишет он В. А. Жуковскому в 1837 году... "Увы! здоровье мое плохо, а гордые замыслы... О, друг, если бы мне на пять лет еще здоровье"... Это писано в 1838 году, то есть за четырнадцать лет до смерти. Таких мест можно бы цитировать из переписки Гоголя очень много. И все они доказывают, что "страх смерти" сопровождает гениального писателя от юности до ранней могилы...

В прекрасной работе д-ра Баженова ("Болезнь и смерть Гоголя", "Русская мысль", февраль 1902 г.) диагноз этой болезни поставлен научно: Гоголь страдал тем, что в психиатрической медицине называют теперь "депрессивным неврозом". Беспричинное душевное угнетение врачи объясняют физиологически тем, что сосуды, питающие корковое вещество мозга, сжимаются, и часть мозга, именно та, от которой зависит настроение, становится обескровленной. Причина, так сказать, чисто механическая. Гоголь по наследству получил этот аппарат несколько испорченным. Отсюда склонность к меланхолии, отсюда частая подавленность и печаль... Доктор Баженов, еще не знавший биографии Гоголя-отца, искал наследственности со стороны матери. Мы теперь знаем, что это ошибка: это была точная копия болезни отца, от которой он умер.

Таково научное, почти механическое объяснение. Механизм подавляет душевное настроение. Да. Но мы знаем, что и душевное настроение в свою очередь может побеждать механизм. Представим себе человека, находящегося в состоянии депрессивного невроза, то есть в беспричинно подавленном настроении, которому почталион приносит письмо с каким-нибудь радостным известием. Это -- привет от любимой девушки, или от друга, или известие о победе единомышленников по общественному делу, или новое доказательство дорогой этому человеку отвлеченной идеи. И вот угнетение исчезает, глаза загораются огнем, в лице -- радостное оживление. В этом случае чисто психический душевный мотив очевидно победил механическую причину угнетения...

У Гоголя был именно такой почталион, который постоянно доставлял ему подобные известия и помогал бороться с роковым наследием. Этим постоянным источником радости было творчество.

*У нас есть одно замечательное в этом отношении признание самого Гоголя.*

*"Причина той веселости, которую заметили в первых моих сочинениях, -- пишет он в "Авторской исповеди", -- заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать самого себя, я... выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому выйдет от этого какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставляли смеяться как-то беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному придать в голову такие глупости".*

*Итак, мы видим, что Гоголь бессознательно прибегает к своему таланту для борьбы с угнетением и болезнью. Сначала воображение действует стихийно и безотчетно в направлении непосредственно юмористическом. В августе 1831 года Пушкин писал Воейкову:*

*"Сейчас прочел "Вечера близ Диканьки". Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами, какая поэзия, какая чувствительность! Мне сказывали, что когда издатель {"Издателем" в то время называли автора издаваемой книги.} вошел в типографию, где печатались "Вечера", то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою".*

*Скоро, однако, тот же Пушкин, обладавший, действительно, орлиным критическим взглядом, заметил всю сложность гоголевского смеха. "Гоголь -- веселый меланхолик", -- определил он темперамент своего младшего товарища, а Белинский первый применил к нему в литературе термин "смех сквозь слезы". Гоголь довольно долго еще не понимал всего значения своего смеха. Видя, что он нравится, заражает, доставляет успех, он давал волю стихийной способности. Даже о самом глубоком из своих произведений он вначале писал Пушкину: "Начал "Мертвых душ". Сюжет... кажется, будет сильно смешон". И его, по-видимому, удивило, что на Пушкина смешной сюжет подействовал иначе.*

*"Когда я начал читать Пушкину первые главы "Мертвых душ", -- пишет Гоголь в "Авторской исповеди",-- то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении... начал понемногу становиться все сумрачнее... Когда чтение кончилось, он произнес голосом тоски: "Боже, как грустна наша Россия!"*

*Вообще, Пушкин первый заставил Гоголя, по его собственному признанию, "взглянуть на дело серьезно", указал глубокое значение его смеха. И после этого ученик даже преувеличил значение сознательного элемента в своем творчестве: о стихийных произведениях своей юности он стал отзываться с пренебрежением. "Я не издам их ("Вечеров на хуторе"),-- писал он Погодину в 1838 году.-- Я даже позабыл, что я -- творец этих вечеров. Да обрекутся они неизвестности, пока что-нибудь великое, художническое не изыдет от меня". И не только о "Вечерах", но и о таких произведениях, как "Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем", он отзывался впоследствии, как о произведениях незрелых, нравящихся только широкому кругу; но истинные ценители (сам автор, Пушкин, Жуковский) не могут не видеть их недостатков.*

*Это странное пренебрежение к своим молодым произведениям становится, пожалуй, понятным: Гоголь не мог как будто забыть личного узко-служебного, так сказать санитарного значения своих молодых вдохновений. Почему он должен уважать*

посыльного, которого сам отправляет за "веселыми известиями", как мы посылаем за порошком хины в аптеку?.. Он чувствует только, что когда приходит смех, бодрый, веселый и светлый, -- ему становится легче, темные тучи, нависающие неизвестно откуда над его душевным горизонтом,-- рассеиваются. Он его любит, пускает часто в ход и таким образом инстинктивно развивает стихийную способность. Но любить не значит еще уважать...

Но вот Пушкин указывает Гоголю, что его веселый посыльный человек не совсем-то простой. С его приходом меняется настроение не одного автора. Все, кого автор знакомит с ним, не только смеются, а порой восторгаются, и грустят, и негодуют, и умиляются, и затем принимаются обсуждать важные вопросы жизни. Около него вспыхивают новые чувства, новые мысли... Он приводит к своему хозяину самых выдающихся людей того времени. Ему навстречу закипает молодой критический талант Белинского. Пушкин испытывает приступы глубокой печали сознательного гражданина бесправной и рабской страны...

Беззаботный смех, освобождающий от меланхолии, превращается из простого посыльного в благодетельного чародея. Он становится нужным, близким, полезным, интересным для всех... Вся Россия "впяряет в него полные ожидания очи"...

Мы видели, что уже в юности Гоголь с непонятною в заурядном человеке страстностью мечтал "означить чем-нибудь свое существование". Сначала он не связывал этого стремления с литературой и мечтал только о какой-то особенно-осмысленной "службе государству"... "Неправосудие, величайшее в свете несчастье, больше всего разрывало его сердце". Теперь работа воображения, доставляющая радость сама по себе, становится средством приносить пользу, "означить свое существование". Он нападет на проявления неправосудия, "собранные в одно место", пронизет их пламенем своего гнева, покроет всенародно раскатами общего смеха...

Это -- исполнение мечты, это -- элементы великой душевной гармонии. Это -- неустанющий поток той самой психической силы, которая своим живым напором побеждает враждебные механико-физиологические влияния. Прежде юноша Гоголь для забавы и развлечения пускал в свою душу ручейки весело журчавшего смеха, и они каждый раз прогоняли темную душевную накипь и уныние. Теперь это -- могучее течение, выносящее его на вершину общественного признания и славы, дающее надежду на исполнение "великого предназначения". Самое предчувствие этого наполняет его восторгом:

"У ног моих, -- пишет он в своем дневнике, -- шумит прошедшее. Надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей (хранитель, ангел), мой гений! О, не скрывайся от меня... не отходи от меня весь этот так заманчиво начинающийся для меня год... Я совершу! Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновлены. Над ними будет витать недоступное земле божество!" {Сочинения (под ред. Тихонравова, т. I, 114--115).}

Это писано в 1834 году, когда, по мнению д-ра Баженова, роковая болезнь уже определилась. Определились, значит, две противоположные силы, вступающие в борьбу в "хрупком составе писателя": р а д о с т ь т в о р ч е с т в а п р о т и в н е б л а г о п р и я т н ы х о р г а н и ч е с к и х в л и я н и й.

### III

24 июля 1829 года, через полгода с небольшим после приезда в Петербург из Полтавской губернии, Гоголь писал своей матери:

"Маменька, не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении этого письма, но знаю только то, что вы будете беспокойны... Перо дрожит в руке моей... непонятная сила нудит и вместе отталкивает высказать всю глубину истерзанной души".

За этим следует целая страница туманных излияний, после которых Гоголь сообщает матери, что он влюблен.

"Я видел ее... нет, не назову ее... она слишком высока для меня, не только для меня... Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание печатлется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу, но их сияния жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из людей... Нет, это не любовь была... В порыве бешенства и ужаснейшей тоски, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом... С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужаснейшее состояние... Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хоть тень покоя в мою истерзанную душу".

Впрочем, вслед за этими риторическими излияниями юный Гоголь высказывает мнение, что необыкновенная женщина послана ему Провидением не напрасно: он не должен пресмыкаться по канцеляриям; настоящий его путь -- путь новых наблюдений, новых знаний и опыта. Как указание свыше, Провидение и поставило перед ним эту -- не женщину, а "божество, Им созданное, часть Его самого". Ему необходимо было бежать. Куда же? За границу. По этой причине, получив деньги для внесения в опекунский совет и узнав, что возможна отсрочка, он денег не внес, а купил пароходный билет и очутился в Любеке.

Письмо это впоследствии вводило в заблуждение биографов... У Петрарки была Лаура, у Данте -- Беатриче, у Гете -- Фредерика Брион и г-жа фон-Штейн, у Гейне, Пушкина, Лермонтова -- целый ряд поэтических женских образов, вдохновлявших воображение и заставлявших сильнее биться сердца... В таинственном божестве, "облеченном слегка в человеческие страсти", взгляда которого "не вынесет ни один из людей", биографы Гоголя хотели видеть Александру Осиповну Смирнову...

Но Марья Ивановна Гоголь была пронзительнее биографов. Она была женщина умная, знала сына и сама любила когда-то своего Василья Афанасьевича. Она помнила, как он играл ей за речкой нежные мелодии и писал любовные письма. Напыщенный, неискренний и холодный стиль в письме сына не мог обмануть ее: это, очевидно, не любовь к живой женщине, а что-то другое. Что же именно? Просто попытка объяснения того обстоятельства, что опекунские деньги самовольно употреблены на поездку за границу. Зачем? Марья Ивановна знала, что за границу ездят лечиться. Петербург -- город соблазнительный. Итак, ее сын поехал лечиться от... дурной болезни.

Как это часто случается с умными и практическими людьми, Марья Ивановна превосходно угадала очень многое. Но вывод сделала грубо ошибочный: ответное письмо матери поразило сына, как громом. "В первый раз в жизни,-- писал он 24 сентября 1829 года,-- и дай бог, чтобы в последний, я получил такое страшное письмо". Упрекая мать за ее предположения, он прибавляет: "Вот вам мое признание: одни только гордые помыслы юности, протекавшие из пламенного желания быть полезным, завлекли меня слишком далеко"... В своем слишком простом объяснении Марья Ивановна, действительно, ошиблась: за границу увлекала Гоголя не любовь и не болезнь, а писательский инстинкт.

В 1829 году Гоголь был двадцатилетним юношей. Через три года в письме к школьному товарищу А. С. Данилевскому Гоголь прямо признается, что чувства сильной любви он не испытывал, и радуется этому: сильное чувство "превратило бы в прах" его слабый организм. А еще лет десять позже, почти уже перед смертью, больной, огорченный, усталый, он попытался, по-видимому, сделать предложение А. М. Виельгорской, с которой вел знакомство и дружескую переписку без всяких намеков на какое-нибудь более нежное чувство. На предложение последовал отказ, не вызвавший, по-видимому, особого огорчения.

И это все: ни Лауры, ни Беатриче, ни Натальи Гончаровой. Ни семьи, ни профессии, ни даже службы в те времена, когда все на Руси служило, не исключая писателей: Державин был губернатором, И. И. Дмитриев -- министром, Карамзин и Жуковский --

царедворцы. Даже Пушкин с горечью и нетерпением, но напрасно стремился скинуть придворный мундир и сошел в могилу камер-юнкером. Николай I не хотел понять, что можно быть только Пушкиным и ничем более. Гоголь все-таки остался только Гоголем. "Могу сказать,-- писал он в 1836 году В. А. Жуковскому,-- что никогда не жертвовал свету своим талантом. Никакое развлечение, никакая страсть не могла овладеть моей душой и отвлечь меня от моей обязанности"... "Не писать для меня значило бы не жить",-- говорил он позже в "Авторской исповеди".

Гоголь был только писателем и не знал ничего другого в жизни. Вся трагедия его короткого, блестящего и многострадального существования была целиком и исключительно трагедией творчества: в нем были его радости, его страдания, с ним связана ранняя гибель...

Тяжелая, запутанная и удручающая трагедия... Перечитать четыре тома его переписки, тщательно собранной В. И. Шенроком, -- переписки темной, часто неискренней, как приведенное выше письмо к матери, -- значит пережить отраженно настоящую душевную пытку. Задавшись несколько лет назад этой трудной задачей, я помогал себе особым приемом: прочитав ряд писем, за известный период, я обращался затем и к Гоголю-художнику и прочитывал то, что он написал в это же время. Точно светлый луч пронизывал мутную мглу, точно струя свежего воздуха врывалась в больничную палату, и можно было идти дальше темными закулисными путями этой страдальческой души: они получали объяснение, освещение и оправдание.

Каждое произведение Гоголя является не только художественным перлом, но и победой, вырванной у роковой болезни, победой человеческого духа над болезненным предопределением. И эта борьба, и эти победы шли на арене, совершенно расчищенной от всех жизненных условий, которые могли бы усложнить ее. Можно сказать определенно, что это был настоящий поединок гения с роковым недугом, где каждая победа гения отмечалась новым торжеством русской литературы.

#### IV

Первым замечательным произведением, в котором Гоголь поставил себе (под влиянием Пушкина) определенную общественную задачу, был "Ревизор". "В "Ревизоре",-- пишет он в "Авторской исповеди",-- я решился собрать все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делают в тех местах и тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем".

О первом представлении "Ревизора" мы имеем противоречивые свидетельства современников. Одни говорят о колоссальном успехе: театр дрожал от хохота. Другие считают успех далеко неполным и сомнительным. По свидетельству П. В. Анненкова, высоко-чиновная и аристократическая публика первого представления недоумевала. "Как будто находя успокоение в том, что дается фарс, большинство зрителей остановилось на этом предположении. Раза два или три раздавался общий смех. Но уже к четвертому акту смех становился робким, пропадал. Аплодисментов почти не было. Напряженное внимание к концу четвертого акта переродилось почти во всеобщее негодование... Общій голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: это невозможность, клевета, фарс"... В огромном большинстве печатных отзывов автора упрекали за то, что в его комедии одни отрицательные типы: нет добродетельного человека, на котором могло бы "успокоиться нравственное чувство". Крепостнический строй требовал от автора своего оправдания, а в комедии чувствовалось одно глубокое художественное отрицание.

Во время первого представления "Женитьбы Фигаро" происходило то же. "Французы, как дети,-- сказал один из зрителей, глядя на беснующийся против автора театр: --

брыкаются, когда их умывают". И, однако, это не помешало комедии Бомарше стать бессмертной истинно национальной сатирой, до сих пор не утратившей своего значения. Такое же веяние бессмертия можно было угадать и в этом все стихающем смехе, и в напряженном внимании, и в недовольстве "избранной публики", которую "умывал" Гоголь.

Были люди, которые сразу поняли великое значение "Ревизора" и отдали автору свои симпатии именно за беспощадность его сатиры. Белинский, тогда мало известный критик не особенно распространенной "Молвы", написал восторженный отзыв, в котором с чрезвычайной глубиной оценил значение комедии. "Удивительно, -- говорил он, -- как это никто не замечает того благородного лица, которого требуют и не находят в пьесе. Оно в ней есть. Это смех, очищающий душу". И меньшинство, которого Белинский был выразителем, с сознательным восторгом приветствовало гениального сатирика. Вокруг комедии кипели страстные споры, она давалась при переполненном театре, актеры вырабатывали все яснее бессмертные гоголевские фигуры, их изречения становились стереотипными, как некоторые стихи Грибоедова, и созданные Гоголем образы вращались в понятия... Комедия явно становилась сокровищем русской литературы и русской сцены.

А в это время сам автор чувствовал себя угнетенным и подавленным... неудачей "Ревизора"... Правда, он заметил статью Белинского, и в своем "Театральном разезде", защищаясь против нападок, он приводит в числе других и мысль Белинского о благородном смехе. Но в глубине его души были недовольство и тоска. В письме к Пушкину Гоголь винит в своем настроении "соотечественников": "Я устал душою и телом. Клянусь, никто не знает и не видит моих страданий". И в другом: "Еду за границу, там размыкать тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен быть подальше от своей родины". Но в материалах Шенрока приведено письмо к "одному литератору", написанное по поводу первого представления, и в нем Гоголь так изображает свое нравственное состояние: "С самого начала... я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся, и этот судья был я сам. Внутри себя я с л ы ш а л у п р е к и и р о п о т против своей же пьесы, которые заглушали все другие..."

Итак, "единственный судья" осудил пьесу, вокруг которой закипела борьба старой и новой Руси. В споре друзей и врагов своего гениального произведения Гоголь, после некоторых колебаний, склонился... на сторону врагов {Эту истинно роковую странность отметил еще Белинский в статье о "Переписке с друзьями".}.

Вскоре после первого представления "Ревизора" Гоголь уезжает за границу. Зачем? Мы видели уже в его письмах, что сам он объясняет это отношением соотечественников, и впоследствии много раз он повторяет этот мотив: "комическому писателю не место на родине".

В действительности, однако, причина была другая. Он увозил с собою начало "Мертвых душ" и для работы над этим величайшим произведением своей жизни вперед уже сосредоточивал все свои жизненные силы. Сознание "недуга" заставляет его быть экономным. Живое, чрезвычайно восприимчивое воображение полно образов. В их разработке и воплощении -- задача жизни и средство спасения. На это направляются все усилия гениального человека. Он, по-видимому, совершенно сознательно отстраняет приток разнородных впечатлений, которые, расширяя душу для большей полноты жизни, вместе с тем могли бы ослабить ее сосредоточенную силу. Он рад, что не испытал любви: она взяла бы у него слишком много настроения, нужного для главного дела. Живая, яркая и разнородная реакция общества на его сатиру ему тоже не по силам. За границей он суживает круг новых впечатлений, отдаваясь исключительно обработке художественного материала, вынесенного из отечества. Д. Н. Куликовский в своей работе о Гоголе отмечает, что мимо него за границей проходили захватывающие события и великое движение мысли, совершенно его не задевая. В то время как Пушкин

смотрел на современный мир широко и жадно раскрытыми глазами, ловя каждое новое явление и усваивая каждую новую мысль,-- Гоголь в своей обширной переписке почти не оставил следов подобной любознательности. Острая от природы, но мало тронутая культурой, мысль его работала в узком круге.

"Боже! какие есть сюжеты!" -- то и дело пишет Гоголь своим друзьям и неизменно прибавляет: "хватит ли силы!.." "Столько еще жизни, чтобы закончить "Мертвые души". Больше не прошу у бога ни часу!" "Ничего не пишу тебе о римских происшествиях, о которых ты меня спрашиваешь,-- говорит он в одном из писем к Данилевскому (авг. 1841).-- Я уже ничего не вижу перед собою, и во взоре моем нет животрепещущей внимательности новичка. Все, ч т о м н е н у ж н о б ы л о, я забрал и заключил в себе, в глубину души моей"... "Нет, клянусь, грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня" {Письма, т. II, III и 100 (последнее к С. Т. Аксакову)}. Не ясно ли состояние души, устремившей все свои способности к одной цели и не желающей кидать по сторонам ни одного лишнего, бесцельного взгляда. Зачем хватать на лету новые явления и новые мысли, когда все это кажется лежащим вне точно намеченного круга его жизни? Ослабить напряженность воображения, радостно и страстно созерцающего определяющиеся образы далекой родины -- значит сделать вычет в строго рассчитанной экономии сил, от которой зависит выполнение главной задачи жизни и даже продолжение самой жизни.

Во все это время, когда Гоголь, окончательно расставшись с безотчетным творчеством, отдается идее "Мертвых душ", судьба его странным образом вызывает в памяти судьбу Хома Брута, вернее -- историю его всемогущих бдений в заколдованной часовне. Бедный философ очертил около себя круг и весь заполнил его сиянием свечей. В этом кругу все свое внимание и все напряжение воли он направляет на чтение священной книги. Эти слова одни способны прогнать страшные порождения враждебного мира...

Такая же тесная часовня для Гоголя -- его заграничная жизнь. Сам он в письме к Уварову говорил, что в ней он "обрек себя на уединение", обратив все способности на создание "Мертвых душ"... Около него тоже тесный круг, освещенное место во тьме обширного мира. Здесь точно в светлом луче роятся перед ним яркие образы, летающие в воображении на крыльях оздоравливающего и защищающего смеха. Это истинные создания дня и света... А по сторонам роились, сгущались и тянулись к нему кошмарные порождения тьмы и страха. И в глубине, скорее угадываемое, чем видимое зрению, неопределенное и страшное гнездились чудовище -- страх смерти, готовое взглянуть, как Вий, на одинокого подвижника своим мертвящим взглядом. Чтобы защититься от этого враждебного мира, Хома Брут читает священную книгу над гробом зачарованной красавицы... А Гоголь все пишет о России, тоже зачарованной рабством.

И пока работало воображение, пока он мог творить,-- он жил. А мог он творить, пока ложная мысль не связала крылья его гениального, оздоравливающего и целебного смеха...

## V

Все время, пока писались за границей "Мертвые души", здоровье Гоголя подвергалось колебаниям. Уже раньше, в Москве, в 1833 году Гоголь часто впадал в мрачное настроение. Он был мнителен, нередко считал себя неизлечимо больным, хотя по наружности казался свежим и бодрым. Из-за границы он часто шлет жалобы на свое состояние. "На мозг мой точно надвинулся колап, который мешает мне думать и туманит мои мысли..." {1837 г. Письмо Прокоповичу}. "Голова часто покрыта тяжелым облаком, который (sic) я должен беспрестанно стараться рассеивать" {Ему же, 1838 г. Г. Баженов отмечает здесь определенный симптом, называемый в медицине неврастенической каской}. "Здоровье мое плохо. Занятие самое легкое отяжелевает мою голову. Италия, прекрасная моя ненаглядная Италия продлила мою жизнь, но искоренить

совершенно болезнь, деспотически вторгшуюся в состав мой, она не в силах... Что, если я не окончу труда моего?" (Князю Вяземскому, 1838.) "Недуг, который, казалось, было облегчился, теперь усилился вновь... Но я веду свою работу, и она будет окончена" (Погодину, тогда же). В 1840 году в Вене Гоголь подвергся очень бурному нервному припадку, последовавшему за периодом возбуждения. "Я почувствовал, -- писал он впоследствии, -- то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетающий в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительное приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки и столбняк..." {Письма Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. II, 148.}

Любопытно, что это течение душевной болезни Гоголя было совершенно независимо от его телесного здоровья или чисто физических недугов. В некоторых позднейших письмах Гоголь очень определенно описывает свои болезненные состояния, при которых, однако, чувствует и голову, и мысли совершенно свежими и поэтому не испытывает никакого душевного угнетения... Можно ли вообще установить неуклонное возрастание душевной болезни в течение того времени, когда создавался первый том "Мертвых душ", то есть в десятилетие 1833--1842 года?

Было бы чрезвычайно интересно проследить подробно с этой точки зрения всю переписку Гоголя, это помогло бы установить связь основной болезни Гоголя с успехом или неудачами его работы. Но уже и то, что мы знаем, позволяет, кажется, отвергнуть неуклонную последовательность в росте болезни: в переписке Гоголя за все эти годы жалобы на состояние здоровья то и дело сменяются нотами удовлетворения и торжества. "Мертвые души" текут живо,-- пишет он Жуковскому в 1836 году из Парижа: -- свежее и бодрее, чем в Вене,-- и мне совершенно кажется, как будто я в России. Передо мною все наше: наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы,-- словом, вся наша православная Русь. Мне даже смешно, когда подумаю, что я пишу "Мертвых душ" в Париже... Огромно, велико мое творение и не скоро конец его... Еще восстанут на меня новые сословия и много разных господ... Но что же мне делать? Уже судьба моя враждовать с моими соотечественниками. Терпение! Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом..."

В воспоминаниях Н. В. Берга сохранился рассказ самого Гоголя о том, как в биллиардной одного жалкого трактира между Дженцано и Альбано ему удалось при страшном шуме, и среди удушливой атмосферы написать за один присест целую главу "Мертвых душ". В. И. Шенрок относит этот факт к 1838 году. В том же 1838 году Гоголь в письме к Погодину опять делает указания на успех своей работы. "Вообще,-- говорит В. И. Шенрок, -- настроение Гоголя в это время (т. е. к концу десятилетия) было самое счастливое. Хандра, временами посещавшая его в Париже и Женеве, была забыта надолго и порой свое настроение он характеризует словами: "В душе моей небо и рай". "У меня теперь в Риме мало знакомых, вернее почти никого (Репнины во Флоренции), но никогда я не был так весел, так доволен жизнью..." "...Я не скажу, что я здоров,-- сообщает Гоголь в письме к Жуковскому уже в 1841 году.-- Нет, здоровье, может быть, еще хуже. Но я б о л е е, н е ж е л и з д о р о в. Я слышу часто чудные минуты, ч у д н о й ж и з н ь ю ж и в у, в н у т р е н н е й, о г р о м н о й, з а к л ю ч е н н о й в о м н е с а м о м, и никакого блага и здоровья не взял бы".

Не ясно ли, что последние четыре года (1838, 39, 40 и 41-й) не только нельзя считать периодом особенного усиления "депрессивного невроза", но, наоборот, это необычно долгий период сравнительной душевной бодрости и подъема, лишь отчасти нарушаемого болезнью. А если вспомнить вдобавок, что, по словам самого д-ра Баженова, уже в начале тридцатых годов душевная болезнь Гоголя вырвала у него целый год жизни, то мы

должны будем признать, что какая-то сила ворвалась в развитие болезни, ослабляя ее успехи и совершенно нарушая ее "цикличность".

Какая это сила -- совершенно ясно. Именно в эти годы Гоголь заканчивал первый том самого важного из своих созданий -- "Мертвые души" -- течение которого уже совершенно определилось...

Художественная идея, уже нашедшая свой образ, обладает чем-то вроде собственной органической жизни, движется дальше по собственным законам. Созерцание этого стройного движения -- процесс почти стихийный, служащий для творца источником высокого удовлетворения. Не забудем, что, по точному показанию Гоголя, первые его юмористические образы даже рождались в минуты душевного угнетения. Теперь, когда окрепшее воображение гения несется в сильной струе живой художественной идеи, его творчество является могучей оздоравливающей силой... Таинственный недуг, все значение которого в вызываемом им душевном угнетении, отступает перед потоком необыкновенного подъема, плавно стремящимся к намеченной цели...

В это время в Гоголе назревали уже идеи "Переписки". В письмах к великосветским друзьям, к "благодатным" Аннам Михайловнам или "благоуханнейшим" Александрам Осиповнам звучали уже странные мысли; слог писем -- деланный, искусственный, то напряженно учительный, то неприятно смиренный и слащавый... А чудное художественное произведение подвигается глава за главой в собственном цельном стиле, точно светлое здание над болотистой и мгlistой равниной. И нигде в этом создании не заметно ни малейшей трещины. Гениальный смех совершал над туманами свой неукротимый полет. И ни разу его крыло не сделало неверного или слабого взмаха...

## VI

И вот: победа одержана: в ноябре 1841 года первая часть "Мертвых душ" была закончена. Гоголь почувствовал себя переполненным какой-то возвышенной радостью и придавал ей формы, согласные с укоренившимися в нем мистическими идеями. "Шлю тебе братский поцелуй, -- пишет он Данилевскому, -- и молю бога, да снидет на тебя хотя часть той свежести, которою объемлетя ныне душа моя, в о с т о р ж е с т в о в а в ш а я н а д б о л е з н я м и х в о р о г о т е л а" {Письма, т. II, III.}.

Он одержал великую победу духа над слепую силою непонятного недуга, он создал великое творение и веяние спасительного гения считает признаком особенной, лично на него направленной, благодати Провидения. Он допускает даже, что теперь эта благодать непосредственно изливается от него на других. "Я думал о тебе, -- пишет он больному Языкову месяца за два до окончания "Мертвых душ", -- и мысли мои были светлы..." "Несокрушимая уверенность насчет тебя засела в мою душу... Ничего не в силах я тебе более сказать, как только: "верь словам моим". Есть чудное и непостижимое... Отныне взор твой должен быть светло и бодро устремлен горе: д л я с е г о б ы л а н а ш а в с т р е ч а..." {Ib., 117, 118 (курсив мой).} "Теперь самое главное -- крепитесь! -- советует он художнику Иванову: -- идите бодро! Не падайте духом, иначе будет значить, что вы не помните и не любите меня: а п о м н я щ и й м е н я н е с е т с и л у и к р е п о с т ь в д у ш е." {Ib., 131.} По адресу друга своего Данилевского он часто выражается еще решительнее: "Но слушай: теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе к о м у б ы т о н и б ы л о, н е с л у ш а ю щ е м у м о е г о с л о в а..." "Властью высшего облечено отныне мое слово..." {Ib., 110, 111.} "Если же что в жизни смутит тебя, наведет беспокойство, сумрак на мысли, вспомни обо мне, и при одном уже твоём напоминании о т д е л и т с я с и л а в т в о ю д у ш у. И н а ч е н е

с и л ь н а д р у ж б а и в е р а , о б и т а ю щ а я в д у ш е т в о е й!" {Ив., 168. Письмо писано в мае, когда "Мертвые души" вышли узко из печати.} И даже В. А. Жуковского он обнадеживает: "Ждите меня! Много расскажу вам прекрасного. Если вы смущены чем-нибудь и что-нибудь земное и преходящее вас беспокоит, т о б у д е т е о т н ы н е т в е р д ы и с в е т л ы в е р о ю в г р я д у щ е е ..." {Письма, т. II, стр. 169.}

Экзальтация Гоголя может быть понята и без предположений о религиозной мании: религиозное настроение было ему присуще с детства, и теперь он только облакает в привычные формы переполняющее его благодатное ощущение "победы духа" над угнетением и страхом смерти. Гордый, радостный, уверенный в своей силе, он едет в Петербург с рукописью "Мертвых душ". В ней, по-видимому, нужно было еще кое-что закончить, а затем печатать ее Гоголь думал в Москве. "Да, друг мой, я глубоко счастлив! -- писал он из Рима С. Т. Аксакову: -- ...создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои... Здесь явно видна святая воля бога: подобное внушение не происходит от человека... О, если бы еще три года с такими свежими минутами..." Теперь ему нужно спокойствие "и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души. Меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил Семенович (Щепкин) и Константин Сергеевич (Аксаков)... Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе заключено сокровище" {Ив., т. II, 97-99.}

К сожалению, московская цензура не поцеремонилась с "хрупкою вазой", и на родине больного писателя, так боязливо оберегавшего свою душу от заграничных впечатлений, -- ждали более сильные впечатления русской жизни. Письма этого времени из Москвы -- это настоящий стон гения, спустившегося с высот творчества на родную землю и терзаемого властным невежеством и самодурством.

"Как только Голохвастов (исполнявший обязанности президента моск. ценз. комитета) услышал название "Мертвые души",-- писал Гоголь П. А. Плетневу в январе 1842 года,-- то закричал голосом древнего римлянина: "Нет, этого я никогда не позволю. Душа бывает бессмертна. Мертвой души не может быть. Автор вооружается против бессмертия!" В силу, наконец, мог взять в толк умный президент, что дело идет о ревизских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк, вместе с ним, и другие цензора, что "мертвые" значит ревизские души, произошла еще большая кутерьма. "Нет! -- закричал председатель, а с ним и половина цензоров: -- этого и подавно нельзя позволить... Это, значит, против крепостного права". На замечание цензора Снегирева, что в книге "о крепостном праве нет и намеков, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям", -- последовали новые возражения: "Предприятие Чичикова, -- стали кричать все, -- есть уже уголовное преступление". -- "Да, впрочем, и автор не оправдывает его", -- замечает опять Снегирев. -- "Да, не оправдывает, а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души"... -- "Что ни говорите, -- сказал молодой цензор Крылов, побывавший недавно за границей, -- цена два с полтиной, которую Чичиков дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого; хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это -- душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии, и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет!.." "В одном месте цензуру остановило то обстоятельство, что "один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе". -- "Да ведь и государь строит в Москве дворец", -- сказал по этому поводу цензор Каченовский.-- "Тут...-- прибавляет Гоголь,-- завязался у цензоров разговор единственный в мире и... дело кончилось тем, что рукопись оказалась запрещенной, хотя комитет прочел только два-три места" {Письмо к П. А. Плетневу, 7 янв. 1842 г. См. "Письма Н. В. Гоголя", II, 136--138.}

"Невероятная глупость" цензурного синклита так поразила Гоголя, что он предположил какую-то особенную, направленную лично против него, интригу. "Цензора не все же глупы до такой степени", -- замечает он совершенно справедливо, забывая только, что цензура в целом очень часто бывает глупее своего среднего состава. И это потому, что ее действия определяются не аргументами самых умных из подчиненных (как, напр., в данном случае Снегирева), а страхом перед самыми глупыми из власть имущих...

Совершенно понятно, какое действие должно было произвести это бессмысленное запрещение на хрупкую душу писателя. -- "Принимаюсь за перо писать тебе, -- говорит он в письме к В. О. Одоевскому (январь 1842 г.),-- и не в силах... Я очень болен и в силу двигаюсь. Рукопись моя запрещена. Прodelка и причина запрещения -- все смех и комедия... Но у меня вырывают мое последнее имущество..." {Письма, II, 134, 135.} "Я был так здоров, когда ехал в Россию, а здесь от всех этих неприятностей стал опять болен такими страшными припадками, каких еще не бывало..." {М. Балабиной, стр. 147, 148.} "Припадки, которые было совершенно оставили меня вне России, теперь возвратились" {Языкову, 161.}. В письме к М. П. Балабиной, в переписке с которой Гоголь часто прибегал к шутивным формам, он говорит (1842 г.): "Много глупостей, мне самому непонятных, чудится в моей ошеломленной голове. Но что ужасно -- в этой голове нет ни одной мысли, и, если вам нужен болван для того, чтобы надеть на него вашу шляпку, я весь теперь к вашим услугам. Вы можете надеть на меня и шляпку, и все, что хотите, и можете с меня сметать пыль, мести у меня щеткой под носом, и я не чихну, даже не фыркну, не пошевелюсь..." {Письма, II, 140.}.

Из письма к министру нар. просвещения Уварову видно, что эти цензурные истязания длились целые месяцы: "Милостивый государь, Сергей Семенович, -- говорит великий писатель властному министру: -- Все мое имущество и состояние заключено в труде моем. Для него я пожертвовал всем, обрек себя на строгую бедность, на глубокое уединение, терпел, переносил, п е р е с и л и в а л, с к о л ь к о м о г, с в о и б о л е з н е н н ы е н е д у г и, в надежде, что, когда совершу его, отечество не лишит меня куска хлеба и просвещенные соотечественники преклонятся ко мне с участием, оценят посильный дар, который стремится всякий русский принести своей отчизне. Я думал, что получу скорее ободрение от правительства, доселе благородно ободрявшего все благородные порывы, и что же?"

Вот уже пять месяцев меня томят мистификации цензуры, то манящей позволением, то грозящей запрещением, и, наконец, я уже сам не могу понять, в чем дело..." "Подумайте: я не предпринимаю дерзости просить воспомоществования и милости, я прошу правосудия... У меня отнимают мой единственный, мой последний кусок хлеба..." {Ib., II, 151, 152.}.

Всесильный министр, снисходивший с своей высоты до прямой вражды к писателю Пушкину, ничего не ответил на письмо Гоголя. Но через Плетнева автор был извещен, что его рукопись передана цензору Никитенке.

Наконец 9 марта 1842 года на "Мертвых душах" поставлена разрешительная помета. В цензурном пленении оставался еще некоторое время один капитан Копейкин, которому Гоголь вынужден был придать черты "дурного характера" и строптивости, чтобы было видно, что, отправив его из столицы с фельдъегерем, "высшее начальство поступило хорошо".

21 марта 1842 года одно из величайших творений русской литературы появилось в свет, и в умственный обиход читателя вошли навсегда бессмертные фигуры Маниловых, Собакевичей, Коробочек, Ноздревых и Чичиковых, чтобы уже никогда не расставаться с воображением всякого грамотного русского человека...

А автор, в процессе великого создания почти исцелившийся от душевного угнетения ("припадки было совершенно оставили меня"), увозил опять за границу свой "хрупкий состав", вновь тяжело израненный российской цензурой, чтобы приняться за новую

*работу, с которой так тесно была связана его личная судьба. Эта работа была вторая часть "Мертвых душ"...*

## *VII*

*Здесь критический момент рассматриваемой нами трагедии, ее поворотный пункт... Гоголь, как былинный герой, стоит на распутье перед двумя различными дорогами.*

*Первую часть своего великого труда он выполнил превосходно. Его книга вся точно отлита из однородного металла, и к концу первого тома (за исключением некоторых страниц) он дошел тем же твердым шагом великого и уверенного художника. Сцена с Ноздревым на балу у губернатора, зловещий проезд по спящим улицам города дребезжащего тарантаса помещицы Коробочки, смятение чиновничьего мира, разговор двух дам, поведение Собакевича при расспросах прокурора о продаже мертвых душ, смерть этого губернского сановника и встреча уезжающего Чичикова с похоронной процессией -- все это проникнуто истинно гоголевской силой воображения, а юмор его одновременно звучит и смехом, и небывалой высотой какого-то особенного скорбного раздумья.*

*Итак, до самого порога дальнейшей своей работы Гоголь принес все ту же силу таланта, и душевное состояние его, временно, правда, ослабленное терзаниями московской цензуры, было лучше, чем при самом начале работы... Появление книги вновь подняло его настроение, и некоторые самоуверенно благодатные письма, приведенные нами выше (напр., к Жуковскому), помечены уже маем 1842 года...*

*Наконец, и в тех обрывках, которые остались нам от второго тома "Мертвых душ", встречаются опять превосходно набросанные фигуры: Петр Петрович Петух, генерал Бетрищев, отчасти предшественник Обломова Тентетников, отчасти также помещик Кашкарев с его бюрократической сельской экономией... Не надо забывать, что это только эскизы и что в окончательной редакции герои первого тома тоже сильно отличались от первоначальных набросков... Павел Иванович Чичиков, захвативший "для познания всякого рода вещей" в новые места и к новым людям и очутившийся в роли устроителя чужого счастья, -- сверкает все той же оборотистой и находчивостью. Наконец, новый пейзаж, среди которого знакомый нам тарантас, "в каких ездят холостяки", с кучером Селифаном и лакеем Петрушкой на козлах, появляется опять в пределах нашего зрения, -- набросан смелыми, широкими и совершенно новыми чертами...*

*Философия первого тома в главных своих чертах являлась тоже здоровой философией смеха, признающего свое право и с горечью отмечающего предрассудки общества. Кто не помнит замечательной параллели между сатириком и "лирическим писателем", который прославляет национальные добродетели и льстит национальному самолюбию: "Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальную свою действительностью, приближается к характерам, являющим высочайшее достоинство человека, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям... Вдвойне завиден прекрасный удел его... далеко и громко разносится его слава. Он окурив упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека... Нет равного ему в силе -- он бог! Но не таков удел, другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед глазами и чего не зрят равнодушные очи, -- всю страшную тину мелочей, опутавших нашу жизнь... Ему не собрать народных рукоплесканий; ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головой и геройским увлечением... ему не*

избежать, наконец, современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создания... отнимет у него сердце и душу и божественное пламя таланта. Ибо не признает современный суд, что в\_ы\_с\_о\_к\_и\_й\_в\_о\_с\_т\_о\_р\_ж\_е\_н\_н\_ы\_й\_с\_м\_е\_х\_д\_о\_с\_т\_о\_и\_н\_с\_т\_а\_т\_ь\_р\_я\_д\_о\_м\_с\_в\_ы\_с\_о\_к\_и\_м\_л\_и\_р\_и\_ч\_е\_с\_к\_и\_м\_д\_в\_и\_ж\_е\_н\_и\_е\_м"...

Трудно яснее выставить "права высокого восторженного смеха" по сравнению с "упоительным куревом" лирической лести. Есть и еще несколько мест, в которых Гоголь высказывает те же мысли. Между прочим, он зло смеется над чисто маниловским спросом на "добродетельного человека" и сознательно дразнит читателя образом своего "героя":

"Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям... Самая полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в каком случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: "фи, какой гадкий!" Увы! Все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека"... "И можно даже сказать, почему: потому что пора, наконец, дать отдых добродетельному человеку, потому что праздно возвращается на устах слово д\_о\_б\_р\_о\_д\_е\_т\_е\_л\_ь\_н\_ы\_й\_ч\_е\_л\_о\_в\_е\_к, потому что обратили в лошадь, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая кнутом и всем, чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет в нем и тени добродетельного человека, а остались только кости да кожа... Нет, пора, наконец, припречь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!"

Но уже в первом томе рядом с этими взглядами, подсказанными сознанием своего стихийного гения, порой даже в непосредственном соседстве с ними, стоят другие, прямо противоположные взгляды. Так, тотчас же за словами о правах "великого восторженного смеха" следуют такие строки:

"И долго еще определено мне чудною властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадную несущуюся жизнь сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы. И далеко еще то время, когда и\_н\_ы\_м\_к\_л\_ю\_ч\_о\_м\_г\_р\_о\_з\_н\_а\_я\_в\_ь\_ю\_г\_а\_в\_д\_о\_х\_н\_о\_в\_е\_н\_и\_я\_п\_о\_д\_ы\_м\_е\_т\_с\_я\_и\_з\_о\_б\_л\_е\_ч\_е\_н\_н\_о\_й\_в\_с\_в\_я\_щ\_е\_н\_н\_ы\_й\_ужас и блистанье главы и почуют в священном трепете величавый гром д\_р\_у\_г\_и\_х\_р\_е\_ч\_е\_й... в дорогу! В дорогу!"

А вслед за сарказмом по адресу "добродетельного героя" какое-то роковое побуждение диктует Гоголю следующие чисто "лирические" обещания:

"...Но, может быть, в сей же самой повести почувются иные, доселе еще не браные струны, предстанет несметное богатство русского духа, п\_р\_о\_й\_д\_е\_т\_м\_у\_ж\_о\_д\_а\_р\_е\_н\_н\_ы\_й\_б\_о\_ж\_е\_с\_к\_и\_м\_и\_д\_о\_б\_л\_е\_с\_т\_я\_м\_и, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся перед ними все добродетельные люди иных племен, как мертвая книга перед живым словом!"

Итак, на одной и той же странице Гоголь дает всенародное обещание послужить тому, над чем тут же так зло смеется. На пороге новой работы, новой борьбы и, быть может, новой победы в душе великого писателя уже готов роковой разлад между самыми коренными свойствами его таланта и заблудившейся в умственном одиночестве мыслью.

## VIII

Есть одно произведение Гоголя, далеко не лучшее в художественном отношении, но чрезвычайно характерное для выяснения некоторых его взглядов на задачи искусства. Оно дает также ключ к уяснению его трагедии, как писателя.

Это "Портрет". Написан он еще в 30-х годах, много раз значительно переделывался и появился в окончательном виде в начале 40-х годов, то есть в то самое время, когда Гоголь закончил первую часть "Мертвых душ" и готовился ко второй. Таким образом, мы имеем здесь как бы художественную исповедь Гоголя на пороге новой работы. Это -- увы! -- те же взгляды, которые мелькали в настроении Гоголя уже во время первого представления "Ревизора", определялись с годами и выразились окончательно в "Портрете" и "Переписке с друзьями".

Талантливый молодой художник получает заказ: написать портрет ростовщика, которого все население Коломны считает колдуном, чем-то даже вроде антихриста. Художник соглашается, но по мере работы чувствует непонятную тяжесть, которая мешает ему воспроизводить интересную натуру. Портрет пугает его самого поразительной правдивостью изображения. В конце концов он бросает свою работу, успев вполне закончить одни глаза; зато эти глаза глядят с полотна, тревожат и не дают покоя. Ростовщик с непонятной страстностью умоляет художника закончить его изображение. От этого зависит его жизнь. В портрете он будет жить мистической жизнью. Теперь ему предстоит жить только наполовину. Художник решительно отказывается, портрет остается незаконченным, и колдун умирает. Но его предсказание исполняется: портрет переходит из рук в руки, принося несчастье и гибель, порождая вокруг себя дурные стремления.

Сознавая, что своей гибельно-правдивой картиной он совершил тяжкий грех, художник удаляется в далекую пустыню и делается монахом. Узнав, что в мире он был живописцем, настоятель предлагает ему написать запрестольный образ богородицы. Художник отказывается: с л и ш к о м р е а л ь н ы м и п р а в д и в ы м и з о б р а ж е н и е м з л а он осквернил свой талант и теперь неспособен к высокому идеальному творчеству, которое одно является целью искусства. Ему нужно предварительно очиститься от этого великого греха. Только после трудных духовных подвигов он приступает к работе и создает чудное святое произведение, после чего и сам являет все признаки святости... Сыну, тоже художнику, который разыскал его незадолго перед смертью, этот святой старец преподает высшую мораль искусства. Для него нет ничего низкого. "Исследуй, изучай все, что ни увидишь, покори все своей кисти. Но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну создания". Задача искусства в примирении... "Для успокоения и у с п о к о е н и я в с е х нисходит в мир высокое создание искусства. Оно не может п о с е л и т ь р о п о т а в душу, но звучащей молитвой стремится вечно к богу... Но есть минуты... темные минуты..."

Инок рассказывает сыну о великом преступлении своей кисти, когда он "насилно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, б ы т ь в е р н ы м п р и р о д е. Это не было создание искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже м я т е ж н ы е ч у в с т в а, не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем"... Инок заключает свой рассказ просьбой: если сыну случится увидеть этот роковой портрет, при создании которого он старался быть верным природе без мысли о примирении, -- он д о л ж е н е г о у н и ч т о ж и т ь.

В этом варианте, который, нужно сказать, сильно попортит первоначальную редакцию "Портрета" в художественном отношении, мы видим настроение Гоголя в самый критический период его жизни. В "Ревизоре" и в "Мертвых душах" он изобразил тогдашнюю Русь, и она взглянула на всех тем же страшным взглядом, едва прикрытым покровом смеха, каким портрет даже сквозь занавес глядел на бедного Черткова. И эта страшная правда не несла примирения. Наоборот, она будила в современниках "смятение и мятеж"... Он, как его художник-инок, считает это тяжким грехом. Ему тоже предстоит сначала искупить этот грех покаянием, а затем "высоким произведением

искусства" примирить смятенные души своих соотечественников со всем, что он осмел ранее...

Если же это не удастся, то... он, по завету святого инока, уничтожит собственное произведение.

Таким образом, ко времени работы над вторым томом Гоголь окончательно осудил свои "несовершенные" и грешные произведения, которые могут быть оправданы лишь тогда, когда он сумеет вновь возвеличить Россию в целом. Первая часть "Мертвых душ" должна служить лишь преддверием величественного Пантеона российских добродетелей.

К этому глубокому разладу между органическими склонностями сатирического гения и глубоко ошибочным взглядом на задачи искусства присоединился другой, тоже роковой мотив. "Мысль о службе, -- писал Гоголь в "Исповеди", -- никогда меня не покидала". Одно время он мечтал, что для него создадут какую-то особую, небывалую должность "примирителя". Но, во-первых, такой должности по штатам не полагалось, а во-вторых, Гоголь пока еще ничем не доказал, что он может занять эту должность с успехом. Гоголь окончательно покидает мысль о "службе" в обычном значении этого слова и приходит к заключению, что его великий дар сам по себе есть тоже вольная служба. И он стал смотреть на себя, как на состоящего уже фактически на этой службе.

Кому? Конечно, государству. Идея "общества" и народа, как самостоятельных элементов нации, тогда еще не определилась. В начале столетия Павел Петрович считал, что самое слово "общество" выражает понятие крамольное, занесенное с запада, и что его можно уничтожить простым изгнанием из лексикона. В дореформенной России были чиновники, военные, были помещики, которые рассматривались, как сорок тысяч деревенских полицеймейстеров; был, наконец, простой народ, безгласный, безличный и поработенный. Начиная снизу, где помещик являлся патриархальным владыкой с неограниченным фактически правом над судьбой крестьян, и доверху -- Россия представляла огромное поместье, с верховным патриархом-государем на вершине. Служить этому государству значило, в сущности, состоять "на царской службе". Гоголь и считал поэтому, что со своим художественным гением он должен стать чем-то вроде "писателя Его Императорского Величества".

Служба предполагает, конечно, жалование по праву. И действительно, в 1837 году Гоголь, работавший в Риме над "Мертвыми душами", пишет Жуковскому: "Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся при нашей церкви... Найдите случай указать как-нибудь государю на мои повести: "Старосветские помещики" и "Тарас Бульба"... Все недостатки, какими они изобилуют, вовсе неприметны для всех, кроме вас, меня и Пушкина... Если бы их прочел государь. Он же так расположен ко всему, где есть теплые чувства"...

Уже в самом выборе повестей, которые Гоголь предлагает вниманию государя, заметна, кроме некоторого пренебрежения к нему, как к ценителю, также и система: царь уже знал "Ревизора" и даже очень верно оценил его силу (известна его историческая фраза, сказанная после первого представления: "Досталось всем, а больше всех мне"). И, однако, служебные права свои Гоголь видит не в "Ревизоре" и даже не в "Мертвых душах", над которыми работал, а в теплых, то есть "примиряющих чувствах". Это условие писательской службы, как мы видели, совпадало со взглядами самого Гоголя, которые, быть может, и выработались отчасти под влиянием представления о службе "государству" в лице такого государя, каким был Николай I.

"Шекспиры и Мольеры, -- говорит его иннок-художник, -- процветали под великодушным покровительством, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских"... "Государям н у ж н о о отличать поэтов, ибо один только м и р

и б л а г о д а т н у ю т и ш и н у низводят они в душу, а не волнение и ропот". Поэтому "ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне. Ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя".

В ноябре того же года Гоголь радостно сообщает, что его обращение услышано, и 5 тысяч рублей, жалованные великодушным государем, дадут ему возможность работать 1 Г года. Через некоторое время по выходе первого тома, когда (вследствие запоздания выхода книги) Гоголь опять чувствовал нужду в деньгах и среди знакомых возникла мысль о новом обращении к государю, -- умный Катенин не советовал Гоголю обращаться к этому источнику. "Тут каждая копейка обратится в алтын", -- говорил он предостерегающе, разумея, конечно, те идейные обязательства, которые заключаются в самом факте обращения. Наоборот, самый близкий Гоголю человек великосветского круга, А. О. Смирнова, горячо рекомендует ему это средство, откровенно подчеркивая его характер. "На эту помощь,-- говорит В. И. Шенрок, -- Смирнова смотрела, как на предоставление Гоголю возможности окончить "Мертвые души" (в н о в о м н а п р а в л е н и и)". "Мне как-то делается за вас страшно, -- писала она: -- смотрите, не скройте вашего таланта, то есть того, н а с т о я щ е г о, вам богом данного не даром. Не оставьте нам только первые плоды незрелые, или выходки сатирические огорченного (!) ума"... В другой раз она писала еще резче: "Ваши грехи уже тем наказаны, что вас непорядочно ругают и что вы сами чувствуете, с к о л ь к о м е р з о с т е й в ы п е р о м н а п и с а л и".

Замечательно, что такого же взгляда держался даже... Жуковский, прекраснородушный поэт, плававший в то время в атмосфере великосветского благоволения. Он только защищал перед высшими кругами "добрые намерения" Гоголя {В. И. Шенрок, "Материалы к биографии Гоголя", т. IV, стр. 189 и примечание.}.

Итак; очевидно, автор "Ревизора" и "Мертвых душ" в глазах влиятельных и высокопоставленных лиц был все еще только творцом незрелых плодов огорченного ума, написавшим до тех пор почти только "мерзости", требующие искупления. Едва ли можно сомневаться, что эти отзывы придворных кругов были отголосками мнений государя. Николай I был человек цельный. Он готов был признать, что гениальные писатели действительно полагаются по штату в благоустроенном государстве, как одна из изящных принадлежностей короны. В виду этого он приковал Пушкина к придворному этикету и делал подарки Гоголю. Но писатели -- народ недисциплинированный. Когда умер Карамзин, царь осыпал щедротами его семью. Жуковский попросил того же для семьи убитого на дуэли Пушкина. Николай ответил, что тут есть разница: "Карамзин умер, как ангел", а Пушкин и жил, и умер строптивцем. Гоголь тоже не совсем годился в бриллианты. Он все только обещает прославить российскую державу, а пока с его произведений глядят страшно правдивые и мрачные глаза рабской и темной страны... И потому, когда Гоголь умер, а Тургенев позволил себе в печатном некрологе назвать его великим писателем, то он был арестован, а затем выслан с фельдъегерем в свое имение.

Но это было впоследствии, а пока гениальный сатирик, -- впрочем, по собственному вызову и согласно своему теоретическому пониманию искусства, -- принимал своеобразную командировку в страну примиряющего идеализма, с целью принести оттуда новые украшения российской короне и российскому "государству"...

А Пушкин, который "чуть не плакал от горя и злости" на представлении "Ревизора" и в этом горе и в этой злости видел великое значение гоголевского смеха,-- был уже в могиле. Его погубила та же великосветская среда, которая теперь убеждала Гоголя отречься от своего смеха, то есть от своего гения и от своей жизни.

В "Исповеди" Гоголь говорит прямо, что в продолжении "Мертвых душ" он имел в виду развить в образах те идеи, которые изложены в переписке с друзьями: "Я имел неосторожность заговорить в ней кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице введенных героев повествовательного сочинения" {Сочинения, V, 267.}. Поэтому нам остается хоть немного остановиться на идеях этой книги, которую теперь пытаются вновь реабилитировать и которая, в действительности, сыграла такую печальную роль в гибели гоголевского таланта...

Борьба с индивидуальными пороками и уважение к самым основам рабского строя -- такова, несомненно, общая "гражданская" идея этой книги. Поле борьбы -- каждая отдельная человеческая душа. Что же касается до основ самого строя, то здесь все должно остаться неприкосновенным. Начальник и подчиненный, раб и помещик должны стать добрыми христианами,-- в этом и только в этом решение вопроса. Рабская зависимость хорошего мужика от превосходного помещика не есть зло и не унижает человеческого достоинства в том и другом.

Правда, даже в той уединенной часовне, в которую Гоголь превратил свою жизнь за границей и куда имели доступ не только явные друзья его "личности", но злейшие враги его таланта,-- он не мог не слышать отголосков того, что уже назревало в русской жизни. Атмосфера дореформенной Руси была уже полна смутной тревогой, как это бывает перед грозой, когда на томительно ясном горизонте не видно еще никаких признаков близкой бури, но в воздухе уже разлит беспокойство и напряжение. В "Исповеди" он нашел для этого напряжения очень яркие слова:

"Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным,-- говорит он,-- все чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, даже не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе... Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении, как себя, так и других, делается общею... Всяк чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние".

Гоголь, конечно, не может не видеть, что и в общественной, а не только в частной жизни есть много несовершенств, что в ней господствует тот "вихрь возникших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отняли почти у каждого простор делать добро". Видит он также "повсеместное помрачение и всеобщее уклонение всех от духа земли своей", "видит бесчестных взяточников и плутов, продавцов правосудия и грабителей, которые, как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело"... Он признает даже больше: "во многих местах незаконный порядок обратился почти в законный", а это уже несомненный признак разложения самого государства, делающий понятным возрастание общего недовольства. Но ему кажется, что все это трагедия не общества, задержанного в своем развитии и начинающего сознавать безнравственность существующих форм жизни, а только драма отдельных душ, лично уклонившихся от добродетели.

Отсюда та глубокая трещина в настроении великого художника, которая обнаружилась после первого представления "Ревизора". Гоголя испугало то, что многие видят в его комедии попытки осмеять не только пороки, но и лиц и даже (о ужас!) самые должности. "Ревизор",-- писал Гоголь впоследствии В. А. Жуковскому,-- был первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, ч т о, в п р о ч е м, н е у д а л о с ь: в комедии стали видеть желание осмеять у з а к о н е н н ы й п о р я д о к в е щ е й и п р а в и т е л ь с т в е н н ы е ф о р м ы, тогда как у меня намерение было осмеять только с а м о у п р а в н о е о т с т у п л е н и е н е к о т о р ы х л и ц от форменного и узаконенного порядка". "Я был сердит и

на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной того, что меня не поняли".

Такая сатира совершенно не входила в его сознательные планы. В действительности в России все превосходно, и в письме к занимающему видное место (губернатору, мужу А. О. Смирновой-Россет) Гоголь предостерегает его от стремления к каким бы то ни было переменам. По его мнению, "чем более всматриваешься в организм управления губернией, тем более изумляешься мудрости учредителей. Слышно, ч т о с а м б о г с т р о и л н е з р и м о р у к а м и Г о с у д а р е й. Все полно, достаточно, все устроено именно так, чтобы споспешествовать в добрых действиях, подавая друг другу руку, и останавливать т о л ь к о н а п у т и к з л о у п о т р е б л е н и я м... Всякое нововведение тут ненужная вставка" {Соч., V, 126.}.

На протяжении всей переписки Гоголь развивает эту мысль о совершенстве, неприкосновенности и святости тогдашнего строя (который сам "бог строил руками государей"). Дворянство есть "сословие в истинно-русском ядре прекрасное"... "Дворянство есть как бы сосуд, в котором заключено нравственное благородство". Ему предстоит воспитать крестьянское сословие таким образом, чтобы оно стало образцом этого сословия для всей Европы, потому что теперь не в шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом, которого стихии исчезли повсюду, кроме России, и начинают гласно говорить о п р е и м у щ е с т в а х н а ш е г о к р е с т ь я н с к о г о б ы т а, испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних для их улучшения" (177). Учреждение должности прокурорской тоже приводит Гоголя в умиление, а глава о "сельском суде и расправе" заключает в себе совет судить всякого двойным судом. Один суд должен быть человеческий, другой же суд сделайте божеский (!) "и на нем осудите и правого, и виноватого"... Именно так, как весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина "Капитанская дочка", которая, пославши поручика рассудить городского солдата с бабою, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такою инструкцією: "Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи" (154).

Во многих письмах Гоголь прямо иронизирует над "страхами и ужасами России", стоявшей уже у порога катастрофы. "Слышу только о каких-то неизлечимых болезнях, -- пишет он "губернаторше" (А. О. Смирновой), -- и не знаю, кто чем болен"... "Все мысли твои направлены к тому, чтобы избежать чего-то угрожающего в будущем, -- поучает он "близорукого приятеля", мечтающего о каких-то финансовых реформах.-- Ты горд, ты самоуверен... Ты думаешь, что все знаешь... Моли бога, чтобы случилась тебе какая-нибудь крупнейшая неприятность (на службе)!.. Она "будет твой истинный избавитель и брат..." {Соч., V, 160.}.

Таким образом необыкновенно яркая фраза Гоголя о том, что "мир в дороге", является, в сущности, недоразумением. Мир не в дороге, мир должен остаться на месте. В дороге только отдельные пиэтически вздыхающие души, которые должны, однако, заботиться о том, чтобы в своем движении не нарушить как-нибудь предустановленного совершенства существующего строя. Он убежден даже, что самая тревога, которая больше и живее чувствуется именно в рабской России, указывает не на большие грехи русского строя, а лишь на большее совершенство русской души. Вздохи своих знакомых великосветских пиэтистов он принимает за признаки и средства общественного оздоровления. Общее спасение не в отрицании, не в критике, не в его гениальном смехе, не в реформах. Общее спасение в службе существующему строю: "Всяк должен спасать себя в самом сердце государства. На корабле своей должности службы должен всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика Небесного. Кто даже и не в службе, должен теперь вступить на службу" (156).

В этой глубокой уверенности Гоголь принимается даже пророчествовать, и в письме к графине С-ой он предсказывает, что еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что

*Европа придет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках {Соч., V, 156.}*

X

Гоголь был удивлён действием, какое произвела на всех читателей неожиданная исповедь... Уже из этого болезненного удивления видно, до какой ужасающей степени дошло его отчуждение от истинного движения умов и души в среде тогдашнего читающего и мыслящего русского общества.

Теперь, по истечении шести десятков лет, мы уже не можем ошибаться в вопросе, что составляло главную причину замеченного и Гоголем настроения и откуда происходило ощущение, что "мир в дороге". Для нас ясно также, куда пролегла эта дорога: первым ее этапом должно было стать о с в о б о ж д е н и е к р е с т ь я н от рабства, а русского общества -- от крепостнических форм жизни; что именно в этой стороне лежала идеальная линия тогдашнего движения -- это теперь уже не вопрос взглядов или партий; это о б ъ е к т и в н а я и с т о р и ч е с к а я и с т и н а, которую не смеют уже оспаривать даже наши Собакевичи и Маниловы.

С большей или меньшей ясностью это чувствовали современники Гоголя, и в эту именно сторону обращались все взгляды, у одних со страхом, у других с надеждой. Государство объявило институт рабства одним из своих устоев... Очевидно, идеальная линия пролегла также через отрицание современного государственного строя...

Идеалы, вообще говоря, достижимы лишь в бесконечности, то есть реально не достижимы. Но идеальное постоянно просачивается в нашу жизнь, откладываясь в общественных формах. Его "предчувствие" веет на небосклоне каждого поколения, как облачный столб перед Израилем в пустыне. Только легендарный столб был, поставлен извне. В действительности он слагается из неопределенных общих желаний и предчувствий, из новых, только рождающихся мыслей лучших умов, из задушевных стремлений лучших сердец. И все эти атомы общественного творчества невидимо слагаются в идеальный образ, веющий как знамя на умственном горизонте поколений...

Для поколения сороковых годов прошлого века эти идеальные формы были не вполне еще определены и ясны. Русское общество не имело никаких форм для их проявления. Литература была задавлена гнетом цензуры и по разным причинам облекала свои стремления в туманные метафизические формулы. Положительное определение освободительных идей было невозможно. С тем большей силой они искали отрицательного выражения... Как иудеи в ассирийском плену, -- молодая русская интеллигенция заботилась об одном: ни словом, ни намеком не присоединяться к преклонению перед идолами чуждой, торжествующей веры. О т р и ц а н и е становилось началом почти религиозным...

Оно стало господствующим настроением всего живого и мыслящего в России. Известен, между прочим, такой факт из биографии В. Г. Белинского. Запутавшись в гегелевской философии, он принял формулу о "разумности действительного". Под "действительным" по этой терминологии разумелось все, что веками стихийных процессов выросло из почвы, слагаясь коллективным разумом народов как бы без вмешательства чисто рациональных процессов и критики. Перед силой этой "действительности" все умствования отдельных людей и протесты отдельных совестей являются детски легкомысленными и преступными... С этой точки зрения республика Северо-Американских Штатов, с ее избираемым президентом -- есть "призрак". Только монархия, возникшая в тьме стихийно-исторических процессов, -- есть реальная личность. "Образ государя есть личность государства", и подданный не может служить отечеству иначе, как служба государю. Само же государство "не имеет причины в нужде

и пользе людей: оно есть самоцель, в самом себе находящая причину" {Сочинения Белинского: "Народ и царь" ("Оч. Бородинского сражения Ф. И. Глинки") и "Бородинская годовщина".}.

Как видите, это очень близко к идеям "Переписки", но Белинский жил среди постоянного кипения мысли и споров в просыпавшемся и живом обществе. Впоследствии он не мог без глубокого страдания вспомнить об этих своих статьях, и с тем большею страстностью обрушился на "Переписку".

Биографы Белинского отмечают следующий характерный эпизод. Около того времени, когда появились эти статьи о преклонении перед действительностью, ему хотели как-то представить в одном обществе молодого инженерного офицера. "Это автор статьи о Бородинской годовщине?" -- спросил офицер и, получив утвердительный ответ, сухо отказался от знакомства. Белинский, слышавший этот разговор, сам быстро подошел к молодому человеку и горячо пожал ему руку: "Вы благородный человек, я вас уважаю", -- сказал он с обычной своей прямоотой. Теперь в молодом инженере он почувствовал единомышленника по своей новой религии, и эта религия было страстное "отрицание действительности".

В 1846 году Ив. С. Аксаков, объезжавший Россию, писал родным о настроении тогдашнего общества: "Имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. "Мы обязаны Белинскому счастьем", -- говорили мне везде молодые, честные люди в провинции". И затем Аксаков прибавляет: "Если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастьям угнетенных, честного доктора, честного следователя, к о т о р ы й п о л е з б ы н а б о р ь б у, -- ищите таковых между последователями Белинского"...

И, наверное, впоследствии на столе у каждого такого молодого человека, наряду с портретом автора "Ревизора" и "Мертвых душ", можно было найти письмо Белинского к автору "Переписки". Гоголь сильно ошибался в оценке современности, когда думал, что "молодой восторг" его современников устремлялся только навстречу "лирическому поэту", окуривающему читателя упоительным куревом лести. Нет, всему молодому, восторженно героическому в тогдашней России был дорог отрицатель-критик и гениальный поэт-сатирик. Молодой России нужен был именно смех Гоголя, беспощадный до конца. От упоительного курева даже гоголевской идеализации она отвернулась с негодованием.

## XI

Теперь нам остается проследить до конца печальный последний акт трагедии, связанной со вторым томом великого произведения...

Перед нами опять дорога, опять знакомый тарантас с Петрушкой и Селифаном на козлах. И в тарантасе все та же благополучная фигура Павла Ивановича Чичикова, отправляющегося "для познания всякого рода мест" в новые страны.

И кругом опять все та же бедность и бедность и несовершенства нашей жизни.

Павел Иванович пережил в уездном городе некоторые тревоги, и кроме того он имеет основание чувствовать себя несколько обиженным автором, который сообщил в конце первого тома его биографию.

И в самом деле, даже сторонний читатель чувствует, что в этой биографии Гоголь не вполне справедлив к своему герою: после нее так хорошо знакомое лицо Павла Ивановича как будто слегка изменилось, или вернее: точно кто-то, к большому вреду Павла Ивановича, подменил его послужной список. Из человека умеренной полноты и приятной наружности он превращен в какого-то мрачного злодея: с самой юности он проявляет совершенно исключительную черствость души по отношению к учителю и благодетелю.

А затем пускается в самые рискованные, чисто даже уголовные предприятия... Мы знали только, что Павел Иванович где-то и как-то "пострадал за правду". Теперь мы узнаем, что это было в таможенном ведомстве. В этом ведомстве, как и всюду в те времена, царили известные порядки, которые, впрочем, никто не считал предосудительными. Но вдруг, благодаря "несчастной случайности", был назначен на место начальника "человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой". К тому же этот строгий начальник был совершенно бестолков и не знал порядков гражданского управления. "На другой же день он пугнул всех до одного, увидел на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры (настроенные взяточниками), и пошла переборка"... "Чиновники отставлены, дома красивой гражданской архитектуры поступили в казну", одним словом "все распушено в прах!"

И прежде всех пострадал Чичиков. Пострадал глупо, случайно: "Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику... Иногда, -- замечает автор, -- просто бывает это без причины". И вот, Павел Иванович вылетел со службы. И без сомнения, всякий средний чиновник обычной тогда добродетели, то есть как и Павел Иванович, не очень тонкий, но и не то, чтобы очень толстый, с величайшим сочувствием выслушал бы историю о том, как человек пострадал за правду, тем более, что затем весь поход закончился бестолково и бесплодно. Так как военный человек был, естественно, совершенный невежда в деле гражданском, то через некоторое время очутился "в руках еще больших мошенников, которых он вдобавок не почитал таковыми и даже хвастался не в шутку тонким умением различать способности. Чиновники вдруг постигли дух его и характер, и все, что ни было под его начальством, сделалось страшными гонителями неправды"... И все, конечно, быстро затянулось прежним налетом, как затягивается крыловское болото, в которое шлепнулся с неба владыка-чурбан... Если бы сюда прибавить еще преследование этой добродетельной шайкой тех немногих людей, которые действительно пытались бороться за закон и правду, то перед нами была бы схема, пригодная, пожалуй, и для нынешних дней...

Но автору было почему-то недостаточно этой умеренно-плутовской истории для характеристики своего героя, и он привлекает еще историю с каким-то наследством; для нее требуются уже не только подлоги, но и чрезвычайно рискованные переодевания и тому подобные предприятия, как будто уже не вполне свойственные солидному Павлу Ивановичу. И вдобавок, совершив все это, аккуратный Павел Иванович напивается пьян, ссорится в пьяном виде со своим сообщником, называет его поповичем, чем и вызывает со стороны этого сообщника донос.

Итак, Павел Иванович Чичиков -- не только злодей, но и пьяница. И это тот самый Чичиков, вполне благопристойный и приличный, который "никогда не позволял в речи непристойного слова и оскорблялся всегда, когда в речах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию". Читателю было так приятно "узнать, что он всякие два дня переменял на себе белье, а летом, во время жаров, даже и всякий день". И каждый раз, "когда Петрушка (со своим запахом) приходил раздевать его, -- клал себе в нос звездичку"... И этот Павел Иванович пьяный пускается в опасную ссору!.. Нет, положительно это какой-то другой Павел Иванович, а не тот приятный господин, не то чтобы худой, но и не очень полный во всех смыслах, с которым читатель успел уже сжиться с первого момента его появления.

-- Наконец, почему же непременно подлец? "Зачем быть так строго к другим? -- может он спросить у автора его же собственными словами (из первого тома): -- Ведь теперь у нас подлецов не бывает: есть люди благонамеренные и приятные", которые просто стремятся к приобретению. "Зачем он (в самом деле) добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, непрожитое оставить жене, детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы отечеству..." {Сочин., IV, 448.} Вот для чего он ухищрялся, вот для чего уподобил свою судьбу судну среди волн, вот для

чего странствовал, скупая "мертвые души". А это цели вполне благонамеренные. Спросите кого угодно из средних, не то чтоб очень тонких, но и не очень толстых современников Павла Ивановича: разве это злодейство? Ведь он хотел только взять из ломбарда за мертвые души, совершенно так, как бы они были живые. Из ломбарда, то есть из казны, то есть, в сущности, ни у кого...

Для знакомого нам Павла Ивановича именно эта срединность во всех смыслах, -- эта приятная округлость форм и манер, это отсутствие углов не только в фигуре, но и в глубинах совести, -- являлась самой характерной чертой всего облика. Чичикову биографии как будто более шла бы хищная худоба, беспокойные манеры, настороженная алчность, беспокойно-хищные взгляды... И тогда он, пожалуй, казался бы менее страшен: Пушкин наверное потому и говорил: "Боже, как грустна наша Россия", что в этой дореформенной России Чичиковы были не злодеи, а просто люди, близкие к среднему бытовому типу. Этот средний калибр Павла Ивановича Чичикова есть, быть может, самая страшная черта того "Портрета" тогдашней России, которая так неприятно смотрела со страниц первого тома "Мертвых душ".

Мне кажется, что от всей биографии веет некоторой искусственностью и преднамеренностью: Гоголь как будто принижает Чичикова, чтобы подготовить контраст своих добродетельных героев, с которыми он сведет Павла Ивановича. Чичиков едет теперь от Петра Петровича Петуха к помещику Кашикареву. И при этом случайный спутник Платонов предлагает познакомить его со своим зятем... Это человек истинно замечательный, и Платонов говорит о нем, как о "первом хозяине, какой когда-либо бывал на Руси": "Он в десять лет с небольшим, купивши расстроенное имение, едва дававшее двадцать тысяч, возвел его до того, что теперь получает двести тысяч".

"-- А, почтенный человек! -- (говорит Павел Иванович): -- Вот такого человека жизнь стоит того, чтобы быть переданной в поучение людям... А как по фамилии?"

-- Скудронжогло.

-- А имя и отчество?

-- Константин Федорович.

-- Константин Федорович Скудронжогло. Очень приятно познакомиться. Поучительно узнать такого человека..."

Гоголь не описывает выражение лица Чичикова в эту минуту, но читатель, знакомый с Павлом Ивановичем, видит его и без описания. Глазки "будущего родоначальника" сверкают радостным оживлением, в его лице благоволение. В Константине Федоровиче Скудронжогло он чувствует нечто родственное. Это тоже "приобретатель", только на широкую ногу и вполне добродетельный. А теперь, во втором томе, нельзя уже смеяться над добродетельным человеком. Надо уважать добродетельного человека. Даже более: надо перед добродетельным человеком преклоняться. Добродетельный человек -- опора общества. Он не увлекается химерами юности, не мечтает о реформах крепостного строя и смеется над умниками, которые заводят для мужиков богоугодные заведения (391), и над Дон-Кихотами, которые открывают для них школы, мешающие мужицким детям заниматься прямым делом... (стр. 392). Он стоит "на прочном основании". И основание это... приобретение.

Скудронжогло -- настоящий идеолог приобретения. Почуввав в Чичикове родственную натуру, он с радостью дает ему десять тысяч, без процентов, без поручительства, просто под одну расписку. "Т а к б ы л о н г о т о в п о м о г а т ь в с я к о м у н а п у т и к п р и о б р е т е н и ю!" {IV, стр. 550. Эта замечательная фраза сохраняется в обеих сохранившихся редакциях.} -- поучительно заключает Гоголь "Переписки". В стиле его, теперь обесцвеченном и искусственном, находятся для добродетельного человека возвышенные обороты. То "сумрачное облако осеняет его чело", когда он видит плохое хозяйство (406), то, наоборот, изображая

картину хозяйства хорошего, он "сияет, как царь в день торжественного венчания своего..." (397). И Павел Иванович Чичиков заслушивается его, как пения райской птички.

-- Сладки ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович, -- говорит он. -- Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму!

Скудронжогло улыбнулся. -- Нет, Павел Иванович, -- сказал он: -- уж если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором точно можно сказать: умный человек, которого я и подметки не стою...

-- Кто это? -- с изумлением спросил Чичиков.

-- Это наш откупщик Муразов...

-- Слышал. Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия. Десять миллионов, говорят, нажил!

-- Какое десять! перевалило за сорок! С к о р о п о л о в и н а Р о с с и и  
б у д е т в е г о р у к а х.

-- Что вы говорите! -- вскрикнул Чичиков, оторопев.

-- Всенепременно... У кого миллионы, у того радиус велик: что ни захватит, так вдвое и втрое против себя... С ним некому тягаться. Какую цену чему назначит, такая и останется: некому перебить.

...-- Скажите,-- (произносит Чичиков, мысль которого "каменела" от страха и благоговения): -- ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?..

-- Самым безукоризненным путем и самыми безукоризненными средствами... Миллионщику незачем прибегать к кривым путям. Прямой-таки дорогой так и ступай и б е р и в с е , ч т о н и е с т ь п е р е д т о б о ю..."

В этом разговоре, в сущности, выступает единственное различие между Чичиковым первого тома и идеальными героями второго. Это прежде всего размеры приобретения и, во-вторых, его источник: у Павла Ивановича он не безгрешен вообще, а Гоголь еще усиливает это различие, без особенной надобности превращая его из "приобретателя" в злодея.

Скудронжогло ч е с т н о пользуется сознанной тогда уже многими неправдой крепостного строя, а Муразов ч е с т н о наживается на откупах, освобождение от которых Россия через несколько лет приветствовала как вторую эмансипацию.

Но мы помним, что Гоголь в первом томе защищал Павла Ивановича от названия подлец. Он прямо говорил, что справедливее всего назвать его "х о з я и н  
п р и о б р е т а т е л ь". В то время "приобретение" являлось для него в и н о й  
в с е м у: из-за него-то произошли дела, которым свет дает название не очень ч и с т ы х, хотя, как известно, они часто истекают из благонамереннейших побуждений, например семейных. "Такой (в самом деле) чувствительный предмет!.." Из-за него-то "будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом, -- не идет ли откуда хозяин, -- хватает поспешно все, что к нему поближе".

Вообще в первом томе над этим добродетельным понятием витал гениальный смех. Вспомним замечательную сцену в палате, куда Чичиков и Собакевич являются с купчими крепостями на мертвые души. "Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо, когда он увидел, что всех покупок было почти на сто тысяч рублей. Н е с к о л ь к о м и н у т о н с м о т р е л в г л а з а  
Ч и ч и к о в у с в ы р а ж е н и е м п о ч т и п о л н о г о  
у д о в о л ь с т в и я и, наконец, сказал: "Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! Так вот вы приобрели!"

-- Приобрел, -- сказал Чичиков скромно.

-- Благое дело! Право, благое дело!

-- Да, я вижу, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни было, цель человека все еще не определена, если он не стал, наконец, твердою стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности".

Да, вот что делает грешный смех! Люди совершенно солидные говорят о предмете благонамеренном: о приобретении. Автор точно воспроизводит разговор, лишь пропустив его сквозь какую-то незаметную призму... И над "приобретением" витает невидимо какое-то особенное осуждение. Это суд не уголовный: это суд смеха... Он совершается во имя какого-то идеального представления об истинном достоинстве человека, при сопоставлении с которым одно только, хотя бы и скрепленное казенной печатью, п р и о б р е т е н и е само по себе является смешным и жалким.

Во втором томе этот смех порой опять готов к услугам автора. Когда Павел Иванович предлагает увековечить "жизнеописанием" добродетельного приобретателя-помещика, читателю так и кажется, что смех уже порхает над расцветшей физиономией Чичикова и готов перепорхнуть с нее на фигуру Константина Федоровича Скудронжогло... "Так вот как! Этаким-то образом, Константин Федорович! Так вы и приобрели! Рабским трудом?.." -- "Приобрел..."

Но бедному смеху нет воли во втором томе: бедный смех лежит со связанными крыльями. Порой, быть может, он пытается напомнить о "так называемых патриотах, которые сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накапливают себе капиталы, устраивая судьбу свою на счет других" (IV, стр. 276). Или о том, что "миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть кругом себя подлость совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не получают от него... но непременно хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть попросятся на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик". Или, наконец, о том, что от собственных добродетельных героев не осталось уже ни костей, ни кожи, а торчит из них одно "приобретение" (хотя бы и "законными средствами"). И тогда гениальный сатирик, обладавший все-таки замечательным критическим чутьем, сжигал в тоске свои рукописи с портретами добродетельных Чичиковых. А пока в раздвоенной душе художника происходила эта борьба художественного гения и заблудившейся мысли, роковой недуг рос на просторе, не сдерживаемый по-прежнему целительным потоком свободного, не связанного ложными идеями, сатирического творчества...

Что Гоголь сжигал также и превосходные страницы, которыми дарил его далеко еще не угасший талант, это подтверждается многими несомненными свидетельствами. И между прочим тем, что некоторые главы он читал в обществе. А все, что он решался читать в обществе, всегда было окончательно продумано и сделано образцово.

"До сих пор не могу еще придти в себя,-- писал, например, С. Т. Аксаков сыну Ивану Сергеевичу в 1849 году: -- Гоголь прочел нам с Константином вторую главу ("Мертвых душ")... вторая глава несравненно выше первой" {Материалы, IV, 177.}. Смирновой Гоголь еще раньше читал отрывки из второго тома, в которых, по ее словам, "юмор был возведен до высшей степени художественности". Некоторые эпизоды были потом восстановлены в передаче лиц, слышавших чтение Гоголя. Особенно подробно излагались сцены у генерала Бетрищева, роман Тентетникова и участие Чичикова в этом романе. С. Т. Аксаков восхищается патетическими сценами, от которых, и по словам Смирновой, захватывало дыхание...

Но и эти главы не избегли общей участи. Гоголь сжег их в разное время. И это понятно: и юмористические, и патетические сцены б ы л и н е й т р а л ь н ы, ничего не вносили в развитие заданной идеи.

## XII

Идея же состояла в том, чтобы в крепостнической России найти рычаг, который мог бы вывести ее из тогдашнего ее положения. А так как все зло предполагалось не в порядке, а только в д у ш а х, то, очевидно, нужен такой рычаг, который, не трогая

форм жизни, мог бы чудесным образом сдвинуть с места все русские души, передвинуть в них моральный центр тяжести от зла к добру.

Изобразить в идеальной картине этот переворот и показать в образах его возможность, такова именно была задача второго и третьего тома "Мертвых душ". Гоголь мечтал, что он, художник, даст в идею тот опыт, по которому затем пойдет вся Россия. Добродетельные герои вроде Скудронжогло должны служить материалом, указывающим, что в русском народе есть силы, готовые для великого движения...

В интересной работе Алексея Ник. Веселовского указывается на основании вполне убедительных материалов, что все герои первого тома, по мысли Гоголя, должны были исправиться. Чичиков, исчезающий во втором томе, после новой катастрофы, должен был явиться в третьем томе уже преображенным. Энергия Чичикова, избытку которой удивляется Муразов, направляется на служение ближним. Только в таком случае будет понятно (и, прибавим, оправдано с точки зрения примиряющего искусства), что "недаром такой человек избран героем". Рядом с Чичиковым предстояло снова явиться и Плюшкину, под своим ли именем, или передав свое страшное прошлое другому лицу, которое должно изгладить бывшее зло благодеяниями. По крайней мере на это есть любопытнейшее указание в словах самого Гоголя (в письме к Языкову): "О, если бы ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, е с л и \_ д о б е р у с ь \_ д о \_ т р е т ь е г о \_ т о м а "М. Душ" {"Вестник Европы", февр. 1891 г.}.

Если бы, вдобавок, как это тоже следует предполагать, исправились и Собакевич, и Манилов, и все чиновники, и вообще все персонажи первого тома, то, мечтал Гоголь, чудесное преображение нарисованного им страшного "Портрета" тогдашней России было бы достигнуто, и смертный грех его смеха заглажен.

Какая же сила произведет это чудо, откуда придет тот толчок, который повернет весь этот мир Плюшкиных и Коробочек, Маниловых, Собакевичей, Чичиковых и Ноздревых около его оси?

Гоголь "Переписки с друзьями" видит эту силу не "в европейских выдумках" и не "в реформах", но исключительно -- в поучении!

К этой мысли Гоголь возвращается на страницах "Переписки" с особенной настойчивостью. "Конечно, -- говорит он в письме к П. А. Толстому, -- сказать человеку: не крадите, не роскошничайте, не берите взятки, молитесь и давайте милостыню, -- теперь ничто... Всякий скажет: да ведь это уж известно". Но Гоголю кажется, что это нужно и можно сказать каким-то особенным образом. Для этого следует "приподнять перед грешником завесу", показать ему все последствия его грехов. Тогда он несомненно исправится. "Нет, человек не бесчувствен, человек подвигнется, если только покажешь ему дело, как оно есть. Теперь он подвигнется еще более, чем когда-либо, потому что природа его размягчена"... "Он, как спасителя, обლობызает того, который заставит его обратить взгляд на самого себя"... {"Нужно проездиться по России", Соч., т. IV, 3.}

Кто же скажет это нужное слово именно так, как его нужно сказать? Гоголь мучительно ищет людей для этой спасительной проповеди. Церковные проповедники, помещики?... Да, отвечает Гоголь: "Это относится к церковным проповедникам. То же должен делать и помещик".-- "Мужика не бей,-- советует он одному из своих приятелей-помещиков: -- съездить его в рожу еще не большое искусство; это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже староста... Но умей п р о н я т ь \_ е г о \_ х о р о ш е н ь к о \_ с л о в о м, ты же на меткие слова мастер" (132).

Увы! Гоголь-юморист в первом томе уже осмелял эти собственные проекты. Их он вложил тогда в уста Плюшкина:

-- Приказные -- такие бессовестные, -- говорит Плюшкин Чичикову, собираясь совершить не вполне одобрительную сделку. -- Прежде бывало полтиной меди отделаешься, да мешком муки, а теперь пошли целую подводку круп, да и красную бумажку прибавь, -- такое сребролюбие! Я уж и не знаю, как никто другой не обратит на

это вниманья. Ну, с\_к\_а\_з\_а\_л\_ б\_ы\_ е\_м\_у\_ к\_а\_к\_н\_и\_б\_у\_д\_ь\_  
д\_у\_ш\_е\_с\_п\_а\_с\_и\_т\_е\_л\_ь\_н\_о\_е\_ с\_л\_о\_в\_о! В\_е\_д\_ь\_ с\_л\_о\_в\_о\_м\_ х\_о\_т\_ь\_  
к\_о\_г\_о\_ п\_р\_о\_й\_м\_е\_ш\_ь. Кто что ни говори, а п\_р\_о\_т\_и\_в\_  
д\_у\_ш\_е\_с\_п\_а\_с\_и\_т\_е\_л\_ь\_н\_о\_г\_о\_ слова не устоишь...

-- "Ну, ты-то устоишь", -- подумал тогда умный Павел Иванович.

Но иного выхода Гоголь "Переписки" все-таки не видит и потому обращает свои взоры к начальству. Оно первое должно прибегнуть к спасительному средству: "Очень знаю, -- пишет он "занимающему важное место", -- что теперь трудно начальствовать в России: завелась такие лихоимства, которых и\_с\_т\_р\_е\_б\_и\_т\_ь\_ н\_е\_т\_  
н\_и\_к\_а\_к\_и\_х\_ с\_и\_л\_ ч\_е\_л\_о\_в\_е\_ч\_е\_с\_к\_и\_х. Знаю и то, что образовался другой незаконный ход действий мимо законов государства и обратился почти в законный, так что законы остаются только для вида"... Но "дело примет совсем другой оборот, если покажешь человеку (в данном случае плуту-чиновнику), чем он виноват перед самим собою. Тут потрясешь так его всего, что в нем явится вдруг отвага быть другим, и тогда только вы почувствуете, как благородна наша русская порода даже и в плуте..."

В поучении, которое Гоголь диктует знакомому генерал-губернатору, есть совет: "священнику пригрозить архиереем"... Дворянам следует, указать на великое дело, которое они могут сделать, "воспитавши сословие крестьян". Вообще, если к поучению приступить с чистой душой, какая была, напр., у Карамзина,-- "тогда всё тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве"... (V, 63).

### XIII

Мы уже видели, что II том "Мертвых душ" должен был в "сочинении повествовательном" развить те идеи, которые Гоголь излагал в "Переписке". И действительно, мы находим во втором томе всю эту программу в лицах. "Занимающий важное место", сиятельный князь генерал-губернатор приходит в ужас, когда перед ним раскрылась картина страшных злоупотреблений, каким-то неведомым образом сосредоточившихся около приятной фигуры Павла Ивановича Чичикова (наброски второго тома дошли до нас лишь в отрывках). Чичиков окончательно уличен и валяется в ногах у представителя грозной власти.

"-- Ваше сиятельство, -- говорит он голосом отчаяния. -- Я действительно лгал, я не имел ни детей, ни семейства; но вот бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства... Но -- что за бедственные обстоятельства!.. Вся жизнь, точно судно среди морских волн..."

Слезы вдруг хлынули из глаз его, и он повалился в ноги князю так, как был в сюртуке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете и в чудесно сшитых штанах"... И при этом бедный приобретатель почувствовал удар княжеского сапога "в щеку, в прекрасно выбритый подбородок и зубы".

Злополучное судно приобретательской судьбы опять на мели: Павел Иванович заперт в "промоглом сыром чулане с запахом сапогов и онуч гарнизонных солдат... Не дали даже ему взять шкатулку, где были деньги. Бумаги, крепости на мертвые души -- все было в руках чиновников"... Одним словом, Павел Иванович погибает, и над его грешной душой, как в старинных драмах, идет спор темных и светлых сил.

Первым является в темницу добродетельный откупщик Муразов. По-видимому, у него есть какой-то план спасения России при помощи откупных денег, которые дадут возможность командировать по всей стране благотворительных проповедников с особыми поручениями. В Чичикове он заметил необычайную энергию и намерен направить ее на выполнение своих благих намерений. Павлу Ивановичу вначале эта программа новой жизни очень улыбается. Он считает, что, в столь тесных

обстоятельствах, ему не остается ничего, кроме добродетели, тем более, что она связана с получением обратно шкатулки и нисколько не мешает мечтам об "осуществлении предназначения": о "бабенке и будущих чичонках" (так ласкательно называл Павел Иванович свою будущую семью). И вот, Павел Иванович дает Муразову торжественное обещание исправиться.

Но не успела закрыться дверь за добродетельным откупщиком, как на сцену является темная сила в лице чиновника Самосвитова.

Этот Самосвитов -- тип совершенно новый в чиновничьей коллекции Гоголя. "Добрый мальчик, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, в военное время он наделал бы чудес... Но за неимением военного поприща подвизался на штатском и на место подвигов -- пакостил и гадил. С товарищами был хорош, никого не продавал никому и, давши, слово держал. Но высшее над собой начальство считал чем-то вроде неприятельской батареей, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом и упущением". Дело Чичикова заинтересовало этого своеобразного чиновного анархиста именно возможностью одурачить начальство, и он предлагает Павлу Ивановичу сделку: "Все будем работать за вас, все -- ваши слуги. Тридцать пять тысяч на всех -- и ничего больше"...

Павел Иванович был реалист. Он не мог не чувствовать, что Самосвитов человек живой и его предложение совершенно "реально". Тогда как Муразовские добродетельные фантазии -- плохая и нежизненная выдумка. Поэтому он тотчас склоняется вновь на сторону порока. И вот "не прошло часу после этого разговора (с Самосвитовым), как к Чичикову принесена была драгоценная его шкатулка: бумаги, деньги, все было в совершенном порядке". Было очевидно, что на слово Самосвитова можно положиться и что "правосудие" непременно останется в дураках...

Между тем Муразов отправляется к негодующему князю и развивает перед ним свою систему борьбы с окружающим злом. Это именно система "Переписки": он защищает перед генерал-губернатором и чиновников, и Чичикова, убеждая, что "все они люди", что они не так уже виновны и что делу (в котором оказались замешанными все "от губернатора до титулярного советника!") совершенно незачем давать законный ход. Будет гораздо лучше, если генерал-губернатор соберет всех чиновников, исповедается перед ними и... скажет им поучение!..

Грозный представитель власти, напавший на след страшного комплота чиновных воров, как-то очень быстро соглашается с Муразовым. Чичикова просто отпускают на все четыре стороны, с его шкатулкой, с его купчими и с его благонамеренными мечтами, а на следующий день в генерал-губернаторском доме происходит торжественная сцена.

"В большом зале собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника: правители канцелярий и дел, советники, ассессоры, Кислоедов, Краснонос, Самосвитов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие, -- все ожидало с любопытством, не совсем спокойным, выхода князя. Князь вышел ни мрачный, ни ясный: спокойной твердостью был вооружен его шаг и взор. Все чиновное собрание поклонилось, многие в пояс. Ответив легким поклоном, он начал..."

Мы, разумеется, не станем здесь приводить всю эту речь, в которой на страницах второго тома "Мертвых душ" звучат (порой буквально) слова и идеи "Переписки". Князь кается сам ("он, может быть, виноват больше всех", "он принял их слишком сурово вначале" и т. д.), а затем, опять по рецепту "Переписки", сильными чертами рисует перед чиновниками положение России, охваченной разложением и неправдой. "Дело в том, что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплемennых языков, а от нас самих, что уже, мимо законного управления, образовалось другое, гораздо сильнее всякого законного... Все оценено и цены даже приведены во всеобщую известность. И н и к а к о й п р а в и т е л ь, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, н е в с и л а х п о п р а в и т ь з л а, как ни ограничивай он в действиях чиновников приставлением в надзиратели других чиновников... Я обращаюсь к

тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей... Я приглашаю вас ближе рассмотреть свой долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно предоставляется и мы едва..."

На этой полуфразе прерываются "Мертвые души", И это очень характерно. Гоголь отлично чувствовал всякую фальшь, всякую надуманность. Критическое чутье подсказало ему, вероятно, что все это мертвые слова, лишённые силы и значения. Может быть, смех Гоголя-сатирика напомнил Гоголю-моралисту саркастическое замечание Павла Ивановича о Плюшкине ("ну, ты-то устоишь"). Может быть, он вспомнил грозного начальника из первого тома и подумал, что и тут "все чиновники могут превратиться в страшных гонителей неправды", с теми же последствиями; может быть, он увидел, что сам он преклонился перед миллионами Муразова и потому возлагает на него великие надежды... Как бы то ни было, но поучение оборвалось на полуфразе.

Оставалось еще одно последнее средство. Есть большие основания думать, что, попытавшись в своем воображении превратить в проповедников богатых откупщиков и властных генерал-губернаторов,-- Гоголь обратил свои последние надежды к царю.

В письме "о лиризме русских поэтов", первую (неизвестную нам) редакцию которого почему-то очень строго осудил Жуковский, Гоголь высказывает свои взгляды на это именно значение монарха. "Все полюбивши: в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, с к о р б я , р ы д а я , м о л я с ь д е н ь и н о ч ь (sic) о страждущем народе своем, государь п р и о б р е т е т т о т в с е м о г у щ и й г о л о с л ю б в и, который один только может внести примирение во все сословия государства".

Но... "чем выше достоинство взятого лица,-- пишет Гоголь в "Исповеди",-- тем ощутительнее, тем осязательнее нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что данное лицо действительно жило"... И вот Гоголь требует у Смирновой самых мелочных подробностей из жизни государя и его семьи, настойчиво прибавляя каждый раз, что это ему "очень нужно". Он устанавливает, при помощи той же Смирновой, какой-то особый полумистический надзор за Николаем Павловичем. "Государя я поручаю вам" -- отдает он ей решительный приказ после какого-то несчастья в царской семье. И Смирнова от времени до времени пишет точные доклады об исполнении этого, как бы служебного, поручения. Невольно приходит на мысль, что дело идет о каких-нибудь "благодатных" влияниях на Николая Павловича, (припомним письма Данилевскому: "отделится сила в душу твою"), при помощи которых он "приобретет (в будущем времени,-- значит, еще не приобрел) всемогущий голос любви", нужный, вероятно, для какого-то потрясающего, центрального, с высоты трона исходящего, способного загреметь на всю Россию, "поучения"...

Впрочем, это, конечно, только предположение, для которого, однако, есть некоторые основания. Во всяком случае понятно, что никакие "религиозные упражнения", никакие влияния через пиэтисток-фрейлин не в сила "х. были повлиять на Николая Павловича и обратить его в желаемого натуралика хотя бы и для гениального писателя. Со стороны Гоголя было слишком самонадеянно предписывать царю, в своих собственных морально-художественных целях: "скорбеть, р ы д а т ь и молиться день и ночь", чтобы затем потрясти свой народ поучением во вкусе "Переписка".

Для этого фигура Николая Павловича была во всяком случае слишком "реальна".

"Мертвые души" остались незаконченными. Гоголь не оправдал возлагаемых на него надежд, он "не совершил". Первая часть поэмы, которая, по мысли своего творца, должна была составлять только крыльцо величественного здания, осталась одна. Во второй части все, что Гоголь хотел выставить как идеальное, было мертво. Жили и светились порой со всей силой гения лишь типы чисто отрицательные. Но Гоголь подавлял свой юмор, как преступление против искусства, и признал себя бессильным закончить дело своей жизни. И его "хрупкий состав" не выдержал этого крушения.

Какое трагическое недоразумение! В сущности, первый том был уже тем величественным в художественном смысле зданием, о котором Гоголь мечтал и которое обещал России, "вперившей в него полные ожидания очи". И если бы он понимал мыслью истинное свое назначение, он бы видел, что для "завершения здания" остается сделать не так уж много, во всяком случае не больше, чем уже сделано: быть может поднять фронтон и покрыть крышу.

В самом деле, каково могло быть "логическое" продолжение "Мертвых душ"? Было бы, разумеется, верхом самонадеянности навязывать великому художнику свои планы для воплощения его идеи. Это пытались сделать в шестидесятих годах некоторые авторы, имена которых теперь совершенно забыты, как и их попытки. Но самая идея произведения, достаточно наметившаяся уже в первой части, хотя, быть может, помимо сознания автора, есть общее достояние, и не будет дерзостью попытка угадать ее логическую линию далее того, что сделано самим автором.

В сущности синтез дореформенной и рабской России -- был уже дан. И если бы Гоголь захотел остаться верным до конца своему гениальному смеху, если бы он не истратил силы на отыскание выхода без потрясения основ тогдашней жизни, если бы он признал, что правда не освобождает зло, а наоборот, убивает его... Если бы он не испугался выводов из своей сатиры и не побоялся осудить не только лица, и не только должности, но и самый порядок, сверху донизу пораженный бессилием и маразмом, -- то ему оставалось только изобразить свободной кистью сатирика торжество чичиковского идеала.

Мирная помещичья усадьба на новых местах, купленная на деньги из ломбарда. Миловидная хозяйка, не то чтобы худая, но и не очень полная, маленькие Чичиковы, с веселыми, остро и пытливо бегающими отцовскими глазками, рабы, трудящиеся над созданием благополучия нового помещика, и сам Павел Иванович, который смотрит ясными очами "в глаза всякому почтенному отцу семейства", потому что он "приобрел" и значит не даром бременит землю. Таковы общие очертания конца "Мертвых душ", логически продолжающие линию гоголевской сатиры, как ее понимали и друзья, ж враги гоголевского таланта. Великое здание было бы завершено последовательно и встало бы пророческим символом страны, зачарованной в безоглядном самодовольстве рабства.

И над этой идиллией на ее пока безоблачном горизонте чувствовалось бы, может быть, приближение грозовой тучи, которой суждено было потрясти гоголевскую Россию в самых ее основаниях.

Но он испугался "страшной правды"... Под влиянием ложных идей, развившихся в отдалении от жизни, он изменил собственному гению и ослабил полет творческого воображения, направляя его на ложный и органически чуждый ему путь. С этим вместе он подавил в себе всегдашний источник бодрости, помогавший ему бороться с страшным недугом... И "Вий" взглянул на него своим убивающим взглядом.

В мучительных поисках дороги, которая одновременно была бы выходом для него лично и для его несчастной страны, гениальный писатель метался еще девять лет, то опускаясь в низы русской жизни ("Образ величавого русского человека в простом народе"), то возносясь к ее вершинам. Умер он в 1852 г. (через десять лет по окончании первого тома), не от определенной болезни, а от глубокого и все возрастающего душевного угнетения. "Он пал под бременем взятой на себя невыполнимой задачи", -- писал об этом Сергей Тимофеевич Аксаков. Умер он совершенно так же, как умер его

*отец, Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович,-- "таял, как свечка, сохнул и наконец угас, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать ее жизнь".*

*А через несколько лет после этого мучительного заключения трагедии великого русского сатирика -- грянула историческая катастрофа, доказавшая правильность его художественного диагноза и роковое заблуждение его мысли...*

*Теперь над тревогой и смятением нашего современного дня встает с новой ясностью величавый и скорбный образ поэта. "Знаю, что память моя после меня будет счастливее меня,-- пророчески говорил он в одном из писем к Жуковскому,-- и потомки тех же моих современников быть может со слезами умиления произнесут примирение моей тени".*

*О "примирении" давно уже нет речи... Горечь, вызванная идеями "Переписки", очень живая в первые годы,-- давно стихла, а скорбный образ поэта, в самой душе которого происходила гибельная борьба старой и новой России, -- стоит во всем своем трагическом обаянии. Даже ошибки его мысли, преждевременно погубившие великий талант,-- становятся только лишней чертой, дополняющей его мучительные искания. Трудно представить себе более возвышенное понимание значения и роли литературы, чем то, которое сказалось так полно -- в великих образах, отвоеванных у роковой болезни, и даже в роковых ошибках его "Переписки".*

1909

#### ПРИМЕЧАНИЯ

*В настоящий том включены избранные литературно-критические статьи, воспоминания и публицистические произведения В. Г. Короленко.*

*Как критик и историк, литературы В. Г. Короленко начал выступать в середине 90-х годов прошлого века, однако вопросы эстетики, истории литературы и критики привлекали внимание писателя с начала его творческой деятельности. Об этом говорят его многочисленные письма к писателям и начинающим литераторам, а также дневниковые записи. Большое общественное и историко-литературное значение представляют высказывания Короленко о творчестве молодого Горького, Серафимовича и целого ряда писателей из народа (С. Подъячев, С. Дрожжин и др.).*

*В основе литературно-критических взглядов Короленко лежат традиции русской революционно-демократической критики прошлого века. В своих статьях и рецензиях Короленко выступал непримиримым врагом литературной реакции. Литературно-критические статьи Короленко были направлены против декадентских и упадочнических литературных теорий. Он воссоздавал в своих статьях образы Гоголя, Белинского, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, выступал поборником принципов критического реализма. По своим эстетическим воззрениям Короленко принадлежал к тому демократическому лагерю в литературе, который с начала нынешнего века возглавлялся А. М. Горьким. При всем том литературно-критическая деятельность Короленко не свободна от известного субъективизма, недооценки философской самостоятельности гигантов революционно-демократической мысли, не лишена отдельных исторических и литературных неточностей.*

*Мемуарные статьи Короленко дополняют его критические выступления. Короленко был лично знаком с крупнейшими писателями его времени -- Н. Г. Чернышевским, Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, А. М. Горьким, Г. И. Успенским и др. Отличный мастер мемуарного жанра, Короленко оставил яркие портреты своих современников-писателей, имеющие не только историко-литературное, но и художественное значение.*

*Из громадного публицистического наследия писателя в настоящий том входит лишь небольшая часть его очерков. Исполненные страстного протеста против политического*

*произвола, очерки являлись действенной формой борьбы с самодержавием и реакцией. "Правда" писала в 1913 году: "Короленко не может пройти мимо целого ряда гнетущих явлений русской жизни, порожденных господством реакции, он тоже "не может молчать" и возвышает свой протестующий голос" ("Дооктябрьская "Правда" об искусстве и литературе", 1937).*

*Рисуя ужасы беззаконий царской полиции, разоблачая темные силы реакции, Короленко твердо верил в торжество правды, в силы народа. "Короленко счастливо сочетал в себе, -- писала "Правда" в той же статье "Писатель-гражданин",-- дар недюжинного художника с талантом и темпераментом публициста и общественного деятеля. Свое бодрое настроение, свою большую веру в лучшее будущее Короленко от юношеских лет пронес через мрачную эпоху 80-х [годов], эпоху всеобщего уныния и безверия, и через мертвую полосу реакции, и в свои 60 лет является все тем же неутомимым протестантом..."*

## Записки сумасшедшего

Октябрь 3.

Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Я встал поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил, который час. Услышавши, что уже давно било десять, я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит: "Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой? Ты иной раз метаешься как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет, в титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера". Проклятая цапля! он, верно, завидует, что я сижу в директорском кабинете и очиниваю перья для его превосходительства. Словом, я не пошел бы в департамент, если бы не надежда видеться с казначеем и авось-либо выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь из жалованья вперед. Вот еще создание! Чтобы он выдал когда-нибудь вперед за месяц деньги - господи боже мой, да скорее Страшный суд придет. Проси, хоть тресни, хоть будь в разнужде, - не выдаст, седой черт. А на квартире собственная кухарка бьет его по щекам. Это всему свету известно. Я не понимаю выгод служить в департаменте. Никаких совершенно ресурсов. Вот в губернском правлении, гражданских и казенных палатах совсем другое дело: там, смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую он дачу нанимает! Фарфоровой вызолоченной чашки и не носи к нему: "Это, говорит, докторский подарок"; а ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в триста. С виду такой тихенький, говорит так деликатно: "Одолжите ножичка починить перышко", - а там обчистит так, что только одну рубашку оставит на просителе. Правда, у нас зато служба благородная, чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению: столы из красного дерева, и все начальники на *вы*. Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент.

Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел проливной дождик. На улицах не было никого; одни только бабы, накрывшись полами платья, да русские купцы под зонтиками, да курьеры попадались мне на глаза. Из благородных только наш брат чиновник попался мне. Я увидел его на перекрестке. Я, как увидел его, тотчас сказал себе: "Эге! нет, голубчик, ты не в департамент идешь, ты спешишь вон за тою, что бежит впереди, и глядишь на ее ножки". Что это за бестия наш брат чиновник! Ей-богу, не уступит никакому офицеру: пройди какая-нибудь в шляпке,

непрерывно зацепит. Когда я думал это, увидел подъехавшую карету к магазину, мимо которого я проходил. Я сейчас узнал ее: это была карета нашего директора. "Но ему незачем в магазин, - я подумал, - верно, это его дочка". Я прижался к стенке. Лакей отворил дверцы, и она выпорхнула из кареты, как птичка. Как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами... Господи, боже мой! пропал я, пропал совсем. И зачем ей выезжать в такую дождевую пору. Утверждай теперь, что у женщин не велика страсть до всех этих тряпок. Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться как можно более, потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона. Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие, один на другом; да и сукно совсем не дегатированное. Собачонка ее, не успевши вскочить в дверь магазина, осталась на улице. Я знаю эту собачонку. Ее зовут Меджи. Не успел я пробыть минуту, как вдруг слышу тоненький голосок: "Здравствуй, Меджи!" Вот тебе на! кто это говорит? Я обсмотрелся и увидел под зонтиком шедших двух дам: одну старушку, другую молоденькую; но они уже прошли, а возле меня опять раздалось: "Грех тебе, Меджи!" Что за черт! я увидел, что Меджи обнюхивалась с собачонкою, шедшею за дамами. "Эге! - сказал я сам себе, - да полно, не пьян ли я? Только это, кажется, со мною редко случается". - "Нет, Фидель, ты напрасно думаешь, - я видел сам, что произнесла Меджи, - я была, ав! ав! я была, ав, ав, ав! очень больна". Ах ты ж, собачонка! Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящую по-человечески. Но после, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда же перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю. Но, признаюсь, я гораздо более удивился, когда Меджи сказала: "Я писала к тебе, Фидель; верно, Полкан не принес письма моего!" Да чтоб я не получил жалованья! Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин. Оно, конечно, некоторые и купчики-конторщики и даже крепостной народ дописывает иногда; но их писание большею частью механическое: ни запятых, ни точек, ни слога.

Это меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал. "Пойду-ка я, - сказал я сам себе, - за этой собачонкою и узнаю, что она и что такое думает".

Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец к Кокушкину мосту и остановились перед большим домом. "Этот дом я знаю, - сказал я сам себе. - Это дом Зверкова". Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько приезжих! а нашей братьи чиновников - как собак, один на другом сидит. Там есть и у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Дамы взошли в пятый этаж. "Хорошо, - подумал я, - теперь не пойду, а замечу место и при первом случае не премину воспользоваться".

*Октября 4.*

Сегодня среда, и потому я был у нашего начальника в кабинете. Я нарочно пришел пораньше и, засевши, перечинил все перья. Наш директор должен быть очень умный человек. Весь кабинет его уставлен шкафами с книгами. Я читал название некоторых: все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет: все или на французском, или на немецком. А посмотреть в лицо ему: фу, какая важность сияет в глазах! Я еще никогда не слышал, чтобы он сказал лишнее слово. Только разве, когда подашь бумаги, спросит: "Каково на дворе?" - "Сыро, ваше

превосходительство!" Да, не нашему брату чета! Государственный человек. Я замечаю, однако же, что он меня особенно любит. Если бы и дочка... эх, канальство!.. Ничего, ничего, молчание! Читал "Пчелку". Эка глупый народ французы! Ну, чего хотят они? Взял бы, ей-богу, их всех, да и перепорол розгами! Там же читал очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут. После этого заметил я, что уже било половину первого, а наш не выходил из своей спальни. Но около половины второго случилось происшествие, которого никакое перо не опишет. Отворилась дверь, я думал, что директор, и вскочил со стула с бумагами; но это была она, она сама! Святители, как она была одета! платье на ней было белое, как лебедь: фу, какое пышное! а как глянула: солнце, ей-богу, солнце! Она поклонилась и сказала: "Папа' здесь не было?" Ах, ай, ай! какой голос! Канарейка, право, канарейка! "Ваше превосходительство, - хотел я было сказать, - не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою". Да, черт возьми, как-то язык не поворотился, и я сказал только: "Никак нет-с". Она поглядела на меня, на книги и уронила платок. Я кинулся со всех ног, подскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа, однако ж удержался и достал платок. Святые, какой платок! тончайший, батистовый - амбра, совершенная амбра! так и дышит от него генеральством. Она поблагодарила и чуть-чуть усмехнулась, так что сахарные губки ее почти не тронулись, и после этого ушла. Я еще час сидел, как вдруг пришел лакей и сказал: "Ступайте, Аксентий Иванович, домой, барин уже уехал из дому". Я терпеть не могу лакейского круга: всегда развалится в передней, и хоть бы головою потрудились кивнуть. Этого мало: один раз одна из этих бестий вздумала меня, не вставая с места, потчевать табачком. Да знаешь ли ты, глупый холоп, что я чиновник, я благородного происхождения. Однако ж я взял шляпу и надел сам на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадут, и вышел. До'ма большею частью лежал на кровати. Потом переписал очень хорошие стишки: "Душеньки часок не видя, Думал, год уж не видал; Жизнь мою возненавидя, Лъзя ли жить мне, я сказал". Должно быть, Пушкина сочинение. Вечеру, закутавшись в шинель, ходил к подъезду ее превосходительства и поджидал долго, не выйдет ли сесть в карету, чтобы посмотреть еще разик, - но нет, не выходила.

*Ноября 6.*

Разбесил начальник отделения. Когда я пришел в департамент, он подозвал меня к себе и начал мне говорить так: "Ну, скажи, пожалуйста, что ты делаешь?" - "Как что? Я ничего не делаю", - отвечал я. "Ну, размысли хорошенько! ведь тебе уже за сорок лет - пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себе? Ты думаешь, я не знаю всех твоих проказ? Ведь ты волочишься за директорскую дочь! Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? ведь ты нуль, более ничего. Ведь у тебя нет ни гроша за душою. Взгляни хоть в зеркало на свое лицо, куды тебе думать о том!" Черт возьми, что у него лицо похоже несколько на аптекарский пузырек, да на голове клочок волос, завитый хохолком, да держит ее кверху, да примазывает ее какою-то розеткою, так уже думает, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отчего он злится на меня. Ему завидно; он увидел, может быть, предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный советник! вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги по тридцати рублей - да черт его побери! я разве из какие-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских детей? Я дворянин. Что ж, и я могу дослужиться. Мне еще сорок два года - время такое, в которое, по-настоящему, только что начинается служба. Погоди, приятель! будем и мы полковником, а может быть, если бог даст, то чем-нибудь и побольше. Заведем и мы себе репутацию еще и получше твоей. Что ж ты себе забрал в голову, что, кроме

тебя, уже нет вовсе порядочного человека? Дай-ка мне ручевский фрак, сшитый по моде, да повяжи я себе такой же, как ты, галстук, - тебе тогда не стать мне и в подметки. Достатков нет - вот беда.

*Ноября 8.*

Был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся. Был еще какой-то водевиль с забавными стишками на стряпчих, особенно на одного коллежского регистратора, весьма вольно написанные, так что я дивился, как пропустила цензура, а о купцах прямо говорят, что они обманывают народ и что сынки их дебошничают и лезут в дворяне. Про журналистов тоже очень забавный куплет: что они любят всё бранить и что автор просит от публики защиты. Очень забавные пьесы пишут нынче сочинители. Я люблю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане - никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братьи чиновников есть такие свиньи: решительно не пойдет, мужик, в театр; разве уже дашь ему билет даром. Пела одна актриса очень хорошо. Я вспомнил о той... эх, канальство!.. ничего, ничего... молчание.

*Ноября 9.*

В восемь часов отправился в департамент. Начальник отделения показал такой вид, как будто бы он не заметил моего прихода. Я тоже с своей стороны, как будто бы между нами ничего не было. Пересматривал и сверял бумаги. Вышел в четыре часа. Проходил мимо директорской квартиры, но никого не было видно. После обеда большею частию лежал на кровати.

*Ноября 11.*

Сегодня сидел в кабинете нашего директора, починил для него двадцать три пера и для ее, ай! ай!.. для ее превосходительства четыре пера. Он очень любит, чтобы стояло побольше перьев. У! должен быть голова! Все молчит, а в голове, я думаю, все обсуживает. Желалось бы мне узнать, о чем он больше всего думает; что такое затевается в этой голове. Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и придворные штуки - как они, что они делают в своем кругу, - вот что бы мне хотелось узнать! Я думал несколько раз завести разговор с его превосходительством, только, черт возьми, никак не слушается язык: скажешь только, холодно или тепло на дворе, а больше решительно ничего не выговоришь. Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиною еще в одну комнату. Эх, какое богатое убранство! Какие зеркала и фарфоры! Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее превосходительство, - вот куда хотелось бы мне! В будуар: как там стоят все эти баночки, скляночки, цветы такие, что идохнуть на них страшно; как лежит там разбросанное ее платье, больше похожее на воздух, чем на платье. Хотелось бы заглянуть в спальню... там-то, я думаю, чудеса, там-то, я думаю, рай, какого и на небесах нет. Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она становит, вставая с постели, свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек... ай! ай! ай! ничего, ничего... молчание.

Сегодня, однако ж, меня как бы светом озарило: я вспомнил тот разговор двух собачонок, который слышал я на Невском проспекте. "Хорошо, - подумал я сам в себе, - я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянные собачонки. Там я, верно, кое-что узнаю". Признаюсь, я даже подозревал было к себе один раз Меджи и сказал: "Послушай, Меджи, вот мы теперь одни; я, когда хочешь, и дверь запру, так что никто не будет видеть, - расскажи мне все, что знаешь про барышню, что она и как? Я тебе побожусь, что никому не открою". Но хитрая собачонка поджала хвост, съезжилась вдвое и вышла тихо в дверь так, как

будто бы ничего не слышала. Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека; я даже был уверен, что она может говорить, но что в ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политик: все замечает, все шаги человека. Нет, во что бы то ни стало, я завтра же отправлюсь в дом Зверкова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу все письма, которые писала к ней Меджи.

*Ноября 12.*

В два часа пополудни отправился с тем, чтобы непременно увидеть Фидель и допросить ее. Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской; к тому же из-под ворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускают копоти и дыму из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться. Когда я пробрался в шестой этаж и зазвонил в колокольчик, вышла девчонка, не совсем дурная собою, с маленькими веснушками. Я узнал ее. Это была та самая, которая шла вместе со старушкой. Она немножко покраснелась, и я тотчас смекнул: ты, голубушка, жениха хочешь. "Что вам угодно?" - сказала она. "Мне нужно поговорить с вашей собачонкой". Девчонка была глупа! я сейчас узнал, что глупа! Собачонка в это время прибежала с лаем; я хотел ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за нос. Я увидел, однако же, в углу ее лукошко. Э, вот этого мне и нужно! Я подошел к нему, перерыл солому в деревянной коробке и, к необыкновенному удовольствию своему, вытащил небольшую связку маленьких бумажек. Скверная собачонка, увидевши это, сначала укусила меня за икру, а потом, когда пронюхала, что я взял бумаги, начала визжать и ластиться, но я сказал: "Нет, голубушка, прощай!" - и бросился бежать. Я думаю, что девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотел было тот же час приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свечах несколько дурно вижу. Но Мавра вздумала мыть пол. Эти глупые чухонки всегда некстати чистоplotны. И потому я пошел прохаживаться и обдумывать это происшествие. Теперь-то наконец я узнаю все дела, помышления, все эти пружины и доберусь наконец до всего. Эти письма мне всё откроют. Собаки народ умный, они знают все политические отношения, и потому, верно, там будет все: портрет и все дела этого мужа. Там будет что-нибудь и о той, которая... ничего, молчание! К вечеру я пришел домой. Большею частью лежал на кровати.

*Ноября 13.*

А ну, посмотрим: письмо довольно четкое. Однако же в почерке все есть как будто что-то собачье. Прочитаем:

*Милая Фидель, я все не могу привыкнуть к твоему мещанскому имени. Как будто бы уже не могли дать тебе лучшего? Фидель, Роза - какой пошлый тон! однако ж все это в сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать друг к другу.*

Письмо писано очень правильно. Пунктуация и даже буква ь везде на своем месте. Да эдак просто не напишет и наш начальник отделения, хотя он и толкует, что где-то учился в университете. Посмотрим далее:

*Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете.*

Гм! мысль почерпнута из одного сочинения, переведенного с немецкого. Названия не припомню.

*Я говорю это по опыту, хотя и не бегала по свету далее ворот нашего дома. Моя ли жизнь не протекает в удовольствии? Моя барышня, которую папа называет Софи, любит меня без памяти.*

Ай, ай!.. ничего, ничего. Молчание!

*Папа' тоже очень часто ласкает. Я пью чай и кофей со сливками. Ах, та chere, я должна тебе сказать, что я вовсе не вижу удовольствия в больших обглоданных костях, которые жрет на кухне наш Полкан. Кости хорошо только из дичи, и притом тогда, когда еще никто не высосал из них мозга. Очень хорошо мешать несколько соусов вместе, но только без каперсов и без зелени; но я не знаю ничего хуже обыкновения давать собакам скатанные из хлеба шарики. Какой-нибудь сидящий за столом господин, который в руках своих держал всякую дрянь, начнет мять этими руками хлеб, подзовет тебя и сунет тебе в зубы шарик. Отказаться как-то неучтиво, ну и ешь; с отвращением, а ешь...*

Черт знает что такое! Экой вздор! Как будто бы не было предмета получше, о чем писать. Посмотрим на другой странице. Не будет ли чего поделнее.

*Я с большою охотою готова тебя уведомлять о всех бывающих у нас происшествиях. Я уже тебе кое-что говорила о главном господине, которого Софи называет папа'. Это очень странный человек.*

А! вот наконец! Да, я знал: у них политический взгляд на все предметы. Посмотрим, что папа':

*...очень странный человек. Он больше молчит. Говорит очень редко; но неделю назад беспрестанно говорил сам с собою: "Получу или не получу?" Возьмет в одну руку бумажку, другую сложит пустую и говорит: "Получу или не получу?" Один раз он обратился и ко мне с вопросом: "Как ты думаешь, Меджи получу или не получу?" Я ровно ничего не могла понять, понюхала его сапог и ушла прочь. Потом, та chere, через неделю папа' пришел в большой радости. Все утро ходили к нему господа в мундирах и с чем-то поздравляли. За столом он был так весел, как я еще никогда не видала, отпускал анекдоты, а после обеда поднял меня к своей шее и сказал: "А посмотри, Меджи, что это такое". Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромата; наконец потихоньку лизнула: соленое немного.*

Гм! Эта собачонка, мне кажется, уже слишком... чтобы ее не высекли! А! так он честолюбец! Это нужно взять к сведению.

*Прощай, та chere, я бегу и прочее... и прочее... Завтра окончу письмо. Ну, здравствуй! Я теперь снова с тобою. Сегодня барышня моя Софи...*

А! ну, посмотрим, что Софи. Эх, канальство!.. Ничего, ничего... будем продолжать.

*...барышня моя Софи была в чрезвычайной суматохе. Она собиралась на бал, и я обрадовалась, что в отсутствие ее могу писать к тебе. Моя Софи всегда чрезвычайно рада ехать на бал, хотя при одевании всегда почти сердится. Я никак не понимаю, та chere, удовольствия ехать на бал. Софи приезжает с балу домой в*

*шесть часов утра, и я всегда почти угадываю по ее бледному и тощему виду, что ей, бедняжке, не давали там есть. Я, признаюсь, никогда бы не могла так жить. Если бы мне не дали соуса с рябчиком или жаркого куриных крылышек, то... я не знаю, что бы со мною было. Хорош также соус с кашкою. А морковь, или репа, или артишоки никогда не будут хороши...*

Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною. Посмотрим-ка еще в одно письмецо. Что-то длинновато. Гм! и числа не выставлено.

*Ах, милая! как ощутительно приближение весны. Сердце мое бьется, как будто все чего-то ожидает. В ушах у меня вечный шум, так что я часто, поднявши ножку, стою несколько минут, прислушиваясь к дверям. Я тебе открою, что у меня много куртизанов. Я часто, сидя на окне, рассматриваю их. Ах, если б ты знала, какие между ними есть уроды. Иной преаляповатый, дворняга, глуп страшно, на лице написана глупость, преважно идет по улице и воображает, что он презнатная особа, думает, что так на него и заглядятся все. Ничуть. Я даже и внимания не обратила, так как бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается перед моим окном! Если бы он стал на задние лапы, чего, грубиян, он, верно, не умеет, - то он бы был целою головою выше папа' моей Софи, который тоже довольно высокого роста и толст собою. Этот болван, должно быть, наглец преужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало. Хотя бы поморщился! высунул свой язык, повесил огромные уши и глядит в окно - такой мужик! Но неужели ты думаешь, та chere, что сердце мое равнодушно ко всем исканиям, - ах нет... Если бы ты видела одного кавалера, перелезающего через забор соседнего дома, именем Трезора. Ах, та chere, какая у него мордочка!*

Тьфу, к черту!.. Экая дрянь!.. И как можно наполнять письма эдакими глупостями. Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека; я требую пищи - той, которая бы питала и услаждала мою душу; а вместо того эдакие пустяки... перевернем через страницу, не будет ли лучше:

*...Софи сидела за столиком и что-то шила. Я глядела в окно, потому что я люблю рассматривать прохожих. Как вдруг вошел лакей и сказал: "Теплов" - "Проси, - закричала Софи и бросилась обнимать меня... - Ах, Меджи, Меджи! Если б ты знала, кто это: брюнет, камер-юнкер, а глаза какие! черные и светлые, как огонь", - и Софи убежала к себе. Минуту спустя вошел молодой камер-юнкер с черными бакенбардами, подошел к зеркалу, поправил волоса и осмотрел комнату. Я поворчала и села на свое место. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье; а я себе так, как будто не замечая ничего, продолжала глядеть в окошко; однако ж голову наклонила несколько набок и старалась услышать, о чем они говорят. Ах, та chere, о каком вздоре они говорили. Они говорили о том, как одна дама в танцах вместо одной какой-то фигуры сделала другую; также, что какой-то Бобов был очень похож в своем жабо на аиста и чуть было не упал; что какая-то Лидина воображает, что у ней голубые глаза, между тем как они зеленые, - и тому подобное. "Куда ж, - подумала я сама в себе, - если сравнить камер-юнкера с Трезором!" Небо! какая разница! Во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерскою. А глаза, приемы, хватки совершенно не те. О, какая разница! Я не знаю, та chere, что она нашла в своем Теплове. Отчего она так им восхищается?..*

Мне самому кажется, здесь что-нибудь да не так. Не может быть, чтобы ее мог так обворовать камер-юнкер. Посмотрим далее:

*Мне кажется, если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папа в кабинете. Ах, та chere, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке...*

Какой же бы это чиновник?..

*Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папа' всегда посылает его вместо слуги.*

Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где ж у меня волоса как сено?

*Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него.*

Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкий язык! Как будто я не знаю, что это дело зависти. Как будто я не знаю, чьи здесь штуки. Это штуки начальника отделения. Ведь поклялся же человек непримиримую ненавистью - и вот вредит да и вредит, на каждом шагу вредит. Посмотрим, однако же, еще одно письмо. Там, может быть, дело раскроется само собою.

*Ma chere Фидель, ты извини меня, что так давно не писала. Я была в совершенном упоении. Подлинно справедливо сказал какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. Притом же у нас в доме теперь большие перемены. Камер-юнкер теперь у нас каждый день. Софи влюблена в него до безумия. Папа' очень весел. Я даже слышала от нашего Григория, который метет пол и всегда почти разговаривает сам с собою, что скоро будет свадьба; потому что папа' хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за камер-юнкером, или за военным полковником...*

Черт возьми! я не могу более читать... Всё или камер-юнкер, или генерал. Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам. Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, - срывает у тебя камер-юнкер или генерал. Черт побери! Желал бы я сам сделаться генералом: не для того, чтобы получить руку и прочее, нет, хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные придворные штуки и экивоки, и потом сказать им, что я плюю на вас обоих. Черт побери. Досадно! Я изорвал в клочки письма глупой собачонки.

*Декабря 3.*

Не может быть. Враки! Свадьбе не бывать! Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинство; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я неколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков. Ведь сколько примеров по истории: какой-нибудь простой, не то

уже чтобы дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже крестьянин, - и вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, а иногда даже и государь. Когда из мужика да иногда выходит эдакое, что же из дворянина может выйти? Вдруг, например, я захожу в генеральском мундире: у меня и на правом плече эполета, и на левом плече эполета, через плечо голубая лента - что? как тогда запоет красавица моя? что скажет и сам папа, директор наш? О, это большой честолюбец! это масон, непременно масон, хотя он и прикидывается таким и эдаким, но я тотчас заметил, что он масон: он если даст кому руку, то высовывает только два пальца. Да разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором, или интендантом, или там другим каким-нибудь? Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?

*Декабря 5.*

Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и оттого происходят возмущения. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол упразднен? Говорят, какая-то донна должна взойти на престол. Не может взойти донна на престол. Никак не может. На престоле должен быть король. Да, говорят, нет короля, - не может стать, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности. Он, стать может, находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как-то: Франции и других земель, заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины.

*Декабря 8.*

Я было уже совсем хотел идти в департамент, но разные причины и размышления меня удержали. У меня все не могли выйти из головы испанские дела. Как же может это быть, чтобы донна сделалась королевою? Не позволят этого. И, во-первых, Англия не позволит. Да притом и дела политические всей Европы: австрийский император, наш государь... Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Мавра замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно, я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы. Ничего поучительного не мог извлечь. Большею частью лежал на кровати и рассуждал о делах Испании.

*Год 2000 апреля 43 числа.*

Сегодняшний день - есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Сначала я объявил Мавре, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля. Я, однако же, старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее уверить в благосклонности, и что я вовсе не сержусь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги. Ведь это черный

народ. Им нельзя говорить о высоких материях. Она испугалась оттого, что находится в уверенности, будто все короли в Испании похожи на Филиппа II. Но я растолковал ей, что между мною и Филиппом нет никакого сходства и что у меня нет ни одного капучина... В департамент не ходил... Черт с ним! Нет, приятели, теперь не заманить меня; я не стану переписывать гадких бумаг ваших!

*Мартобря 86 числа  
Между днем и ночью.*

Сегодня приходил наш экзекутор с тем, чтобы я шел в департамент, что уже более трех недель как я не хожу на должность. Я для шутки пошел в департамент. Начальник отделения думал, что я ему поклонюсь и стану извиняться, но я посмотрел на него равнодушно, не слишком гневно и не слишком благосклонно, и сел на свое место, как будто никого не замечая. Я глядел на всю канцелярскую сволочь и думал: "Что, если бы вы знали, кто между вами сидит... Господи боже! какую бы вы ералаш подняли, да и сам начальник отделения начал бы мне так же кланяться в пояс, как он теперь кланяется перед директором". Передо мною положили какие-то бумаги, чтобы я сделал из них экстракт. Но я и пальцем не притронулся. Через несколько минут все засуетилось. Сказали, что директор идет. Многие чиновники побежали наперерыв, чтобы показать себя перед ним. Но я ни с места. Когда он проходил чрез наше отделение, все застегнули на пуговицы свои фраки; но я совершенно ничего! Что за директор! чтобы я встал перед ним - никогда! Какой он директор? Он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Вот которою закупоривают бутылки. Мне больше всего было забавно, когда подсунули мне бумагу, чтобы я подписал. Они думали, что я напишу на самом кончике листа: столоначальник такой-то. Как бы не так! а я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул: "Фердинанд VIII". Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось; но я кивнул только рукою, сказав: "Не нужно никаких знаков подданничества!" - и вышел. Оттуда я пошел прямо в директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотел меня не впустить, но я ему такое сказал, что он и руки опустил. Я прямо пробрался в уборную. Она сидела перед зеркалом, вскочила и отступила от меня. Я, однако же, не сказал ей, что я испанский король. Я сказал только, что счастье ее ожидает такое, какого она и вообразить себе не может, и что, несмотря на козни неприятелей, мы будем вместе. Я больше ничего не хотел говорить и вышел. О, это коварное существо - женщина! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то, - она любит только одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет, она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он спрятался к нему во фрак. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него. Выйдет. А вот эти все, чиновные отцы их, вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору и говорят, что они патриоты и то и се: аренды, аренды хотят эти патриоты! Мать, отца, бога продадут за деньги, честолюбцы, христопродавцы! Все это честолюбие, и честолюбие оттого, что под язычком находится маленький пузырек и в нем небольшой червячок величиною с булавочную головку, и это все делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой. Я не помню, как его зовут; но достоверно известно, что он, вместе с одною повивальною бабкою, хочет по всему свету распространить магометанство, и оттого уже, говорят, во Франции большая часть народа признает веру Магомета.

*Никакого числа.*

*День без числа.*

Ходил инкогнито по Невскому проспекту. Проезжал государь император. Весь город снял шапки, и я также; однако же не подал никакого вида, что я испанский король. Я почел неприличным открыться тут же при всех; потому, что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останапливало только то, что я до сих пор не имею королевского костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантию. Я хотел было заказать портному, но это совершенные ослы, притом же они совсем небрегут своею работою, ударились в аферу и большею частию мостят камни на улице. Я решился сделать мантию из нового вицмундира, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился шить, заперши дверь, чтобы никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой.

*Числа не помню. Месяца тоже не было.*

*Было черт знает что такое.*

Мантия совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее. Однако же я еще не решаюсь представляться ко двору. До сих пор нет депутации из Испании. Без депутатов неприлично. Никакого не будет веса моему достоинству. Я ожидаю их с часа на час.

*Числа 1-го*

Удивляет меня чрезвычайно медленность депутатов. Какие бы причины могли их остановить. Неужели Франция? Да, это самая неблагоприятствующая держава. Ходил справляться на почту, не прибыли ли испанские депутаты. Но почтмейстер чрезвычайно глуп, ничего не знает: нет, говорит, здесь нет никаких испанских депутатов, а письма если угодно написать, то мы примем по установленному курсу. Черт возьми! что письмо? Письмо вздор. Письма пишут аптекари...

*Мадрид. Февуарий тридцатый.*

Итак, я в Испании, и это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Сегодня поутру явились ко мне депутаты испанские, и я вместе с ними сел в карету. Мне показалась странною необыкновенная скорость. Мы ехали так шибко, что через полчаса достигли испанских границ. Впрочем, ведь теперь по всей Европе чугунные дороги, и пароходы ездят чрезвычайно скоро. Странная земля Испания: когда мы вошли в первую комнату, то я увидел множество людей с выбритыми головами. Я, однако же, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который вел меня за руку; он толкнул меня в небольшую комнату и сказал: "Сиди тут, и если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту". Но я, зная, что это было больше ничего кроме искушение, отвечал отрицательно, - за что канцлер ударил меня два раза палкою по спине так больно, что я чуть было не вскрикнул, но удержался, вспомнивши, что это рыцарский обычай при вступлении в высокое звание, потому что в Испании еще и донныне ведутся рыцарские обычаи. Оставшись один, я решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай. Но меня, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в семь часов совершится странное явление: земля сядет на луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность

луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромым бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна - такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И по тому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета, с тем чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Бритые гранды, которых я застал в зале государственного совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал: "Господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее", - то все в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание, и многие полезли на стену, с тем чтобы достать луну; но в это время вошел великий канцлер. Увидевши его, все разбежались. Я, как король, остался один. Но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палкою и прогнал в мою комнату. Такую имеют власть в Испании народные обычаи!

*Январь того же года,  
случившийся после февраля.*

До сих пор не могу понять, что это за земля Испания. Народные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю ничего. Сегодня выбрили мне голову, несмотря на то что я кричал изо всей силы о нежелании быть монахом. Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мне на голову капать холодною водою. Такого ада я еще никогда не чувствовал. Я готов был впасть в бешенство, так что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значения этого странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный! Для меня непостижима безрассудность королей, которые до сих пор не уничтожают его. Судя по всем вероятностям, догадываюсь: не попался ли я в руки инквизиции, и тот, которого я принял за канцлера, не есть ли сам великий инквизитор. Только я все не могу понять, как же мог король подвергнуться инквизиции. Оно, правда, могло со стороны Франции, и особенно Полиньяк. О, это бестия Полиньяк! Поклялся вредить мне по смерти. И вот гонит да и гонит; но я знаю, приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик. Он везде юлит. Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, то Франция чихает.

*Число 25*

Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: "Поприщин!" - я ни слова. Потом: "Аксентий Иванов! титулярный советник! дворянин!" Я все молчу. "Фердинанд VIII, король испанский!" Я хотел было высунуть голову, но после подумал: "Нет, брат, не надуешь! знаем мы тебя: опять будешь лить холодную воду мне на голову". Однако же он увидел меня и выгнал палкою из-под стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочем, за все это вознаградило меня нынешнее открытие: я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями. Великий инквизитор, однако же, ушел от меня разгневанный и грозя мне каким-то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бессильною злобою, зная, что он действует, как машина, как орудие англичанина.

Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеса, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синее вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?

## Страшная месть

I

Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названный брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, где, промеж двумя горами, был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовым сыном. Дивилися гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого полутабенку, сапогам с серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарасказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой земле! Там все не так: и люди не те, и церковей Христовых нет... Но он не приехал.

Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде коровай. Музыканты принялись за исподку его, спеченную вместе с деньгами, и, на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрипки и бубны. Между тем молодичи и дивчата, утершись шитыми платками, выступали снова из рядов своих; а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, - как старый есаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать короткую молитву... как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков - никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копые, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак - старик.

- Это он! это он! - кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу.

- Колдун показался снова! - кричали матери, хватая на руки детей своих.

Величаво и сановито выступил вперед есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы:

- Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места! - И, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик.

Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом.

- Что это за колдун? - спрашивали молодые и небывалые люди.

- Беда будет! - говорили старые, крутя головами.

И везде, по всему широкому подворью есаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разное, и наверно никто не мог рассказать про него.

На двор выкатили бочку меду и не мало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули; дивчата, молодницы, лихое козачество в ярких жупанах понеслись. Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи, и шорovali так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело восвояси: много осталось ночевать у есаула на широком дворе; а еще больше козачества заснуло само, непрошеное, под лавками, на полу, возле коня, близ хлева; где пошатнулась с хмеля козацкая голова, там и лежит и храпит на весь Киев.

## II

Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою дорогою и белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен.

Посреди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца; черные козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны.

Отчего не поют козаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украине ксендзы и перекрещивают козацкий народ в католиков; ни о том, как два дни билась при Соленом озере орда. Как им петь, как говорить про лихие дела: пан их Данило призадумался, и рукав кармазинного жупана опустился из дуба и черпает воду; пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на незастланную полотном нарядную сукню серою пылью валится вода.

Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса! Горы те - не горы: подошвы у них нет, внизу их как и вверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бороною и над волосами высокое небо. Те луга - не луга: то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц.

Не глядит пан Данило по сторонам, глядит он на молодую жену свою.

- Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалася в печаль?

- Я не в печаль вдалася, пан мой Данило! Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным... и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данило, как страшно говорят: что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выкалывает зубы. И на другой день находили мертвым того человека. Мне чудно, мне страшно было, когда я слушала эти рассказы, - говорила Катерина, вынимая платок и вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды.

Пан Данило ни слова и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернел земляной вал, из-за вала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины; левая рука гладила молодецкие усы.

- Не так еще страшно, что колдун, - говорил он, - как страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда... Я разметаю

чертовское гнездо, если только пронесется слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол! Если у него водится золото... Мы сейчас будем плыть мимо крестов - это кладбище! тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку сатане с душою и ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то мешкать нечего теперь: не всегда на войне можно добыть...

- Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь, очи твои так угрюмо надвинулись бровями!..

- Молчи, баба! - с сердцем сказал Данило. - С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку! - Тут оборотился он к одному из гребцов, который, выколотивши из своей люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку своего пана. - Пугает меня колдуном! - продолжал пан Данило. - Козак, слава богу, ни чертей, ни ксендзов не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться жен. Не так ли, хлопцы? наша жена - люлька да острая сабля!

Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи.

Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище: ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина не растет меж ними, ни трава не зеленеет, только месяц греет их с небесной вышины.

- Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зовет нас на помощь! - сказал пан Данило, оборотясь к гребцам своим.

- Мы слышим крики, и кажется, с той стороны, - разом сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка повернула и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и пан Данило: страх и холод прорезался в козацкие жилы.

Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. "Душно мне! душно!" - простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего; весь зарос, борода по колена и еще длиннее костяные когти. Еще диче закричал он: "Душно мне!" - и ушел под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землю. Борода по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости...

Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул.

Все вдруг пропало, как будто не бывало; однако ж долго хлопцы не брались за весла.

Заботливо поглядел Бурульбаш на молодую жену, которая в испуге качала на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб.

- Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нет! - говорил он, указывая по сторонам. - Это колдун хочет утратить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим! дай сюда на руки мне сына! - При сем слове поднял пан Данило своего сына вверх и поднес к губам. - Что, Иван, ты не боишься колдунов? "Нет, говори, тятя, я козак". Полно же, перестань плакать! домой приедем! Приедем домой - мать накормит кашей, положит тебя спать в люльку, запоет:

Люли, люли, люли!

Люли, сынку, люли!

Да вырастай, вырастай в забаву!  
Козачеству на славу,  
Вороженькам в расправу!

Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится... Ну, недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за козацкую волю! не покачал на руках дитяти! Сперва было я ему хотел поверить все, что лежит на сердце, да не берет что-то, и речь заикнулась. Нет, у него не козацкое сердце! Козацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу! Что, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стецько, дам выложенную бархатом и золотом. Я ее снял вместе с головою у татарина. Весь его снаряд достался мне; одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай! Вот, Иван, мы и приехали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина!

Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного козака.

### III

Хутор пана Данила между двумя горами, в узкой долине, сбегаящей к Днепру. Невысокие у него хоромы: хата на вид как и у простых козаков, и в ней одна светлица; но есть где поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и десяти отборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкетеры, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов; немало зато и вызубрены. Глядя на них, пан Данило как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеною, внизу, дубовые гладкие вытесанные лавки. Возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило. На лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу покотом ночуют молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе; ему не пуховик и не перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть козацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух.

Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья и, проснувшись, сел в углу на лавке и начал наточивать новую, вымененную им, турецкую саблю; а пани Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах, приступил к дочке и сурово стал выспрашивать ее: что за причина тому, что так поздно воротилась она домой.

- Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а муж отвечает. У нас уже так водится, не погневайся! - говорил Данило, не оставляя своего дела. - Может, в иных неверных землях этого не бывает - я не знаю.

Краска выступила на суровом лице тестя и очи дико блеснули.

- Кому ж, как не отцу, смотреть за своею дочкой! - бормотал он про себя. - Ну, я тебя спрашиваю: где таскался до поздней ночи?

- А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне. Умею держать в руках и саблю острую. Еще кое-что умею... Умею никому и ответа не давать в том, что делаю.

- Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, верно, на уме недоброе дело.

- Думай себе что хочешь, - сказал Данило, - думаю и я себе. Слава богу, ни в одном еще бесчестном деле не был; всегда стоял за веру православную и отчизну, - не так, как иные бродяги таскаются бог знает где, когда православные бьются насмерть, а после нагрянут убирать не ими засеянное жито. На униатов даже не похожи: не заглянут в Божию церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются.

- Э, козак! знаешь ли ты... я плохо стреляю: всего за сто сажень пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незavidно: от человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу.

- Я готов, - сказал пан Данило, бойко перекрестивши воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил.

- Данило! - закричала громко Катерина, ухвативши его за руку и повиснув на ней. - Вспомни, безумный, погляди, на кого ты подымаешь руку! Батько, твои волосы белы, как снег, а ты разгорелся, как неразумный хлопец!

- Жена! - крикнул грозно пан Данило, - ты знаешь, я не люблю этого. Ведай свое бабье дело!

Сабли страшно звукнули; железо рубило железо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя козаки. С плачем ушла Катерина в особую светлицу, кинулась в постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились козаки, чтобы можно было заглушить их удары. Сердце ее хотело разорваться на части. По всему ее телу слышала она, как проходили звуки: тук, тук. "Нет, не вытерплю, не вытерплю... Может, уже алая кровь бьет ключом из белого тела. Может, теперь изнемогает мой милый; а я лежу здесь!" И вся бледная, едва переводя дух, вошла в хату.

Ровно и страшно бились казаки. Ни тот, ни другой не одолевает. Вот наступает Катеринин отец - подается пан Данило. Наступает пан Данило - подается суровый отец, и опять наравне. Кипят. Размахнулись... ух! сабли звенят... и, гремя, отлетели в сторону клинки.

- Благодарю тебя, боже! - сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидела, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки.

Выстрелил пан Данило - не попал. Нацелился отец... Он стар; он видит не так зорко, как молодой, однако ж не дрожит его рука. Выстрел загремел... Пошатнулся пан Данило. Алая кровь выкрасила левый рукав козацкого жупана.

- Нет! - закричал он, - я не продам так дешево себя. Не левая рука, а правая атаман. Висит у меня на стене турецкий пистолет; еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне. Слезай с стены, старый товарищ! покажи другу услугу! - Данило протянул руку.

- Данило! - закричала в отчаянии, схвативши его за руки и бросившись ему в ноги, Катерина. - Не за себя молю. Мне один конец: та недостойная жена, которая живет после своего мужа; Днепр, холодный Днепр будет мне могилою... Но погляди на сына, Данило, погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя? Кто приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, биться за волю и веру, пить и гулять по-козацки? Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой! Гляди, как он отворачивает лицо свое. О! я теперь знаю тебя! ты зверь, а не человек! у тебя волчье сердце, а душа лукавой гадины. Я думала, что у тебя капля жалости есть, что в твоём каменном теле человеческое чувство горит. Безумно же я обманулась. Тебе это радость принесет. Твои кости станут танцевать в гробе с веселья, когда услышат, как нечестивые звери ляжи кинут в пламя твоего сына, когда сын твой будет кричать под ножами и окропом. О, я знаю тебя! Ты рад бы из гроба встать и раздувать шапкую огонь, взвихрившийся под ним!

- Постой, Катерина! ступай, мой ненаглядный Иван, я поцелую тебя! Нет, дитя мое, никто не тронет волоска твоего. Ты вырастешь на славу отчизны; как вихорь будешь ты летать перед козаками, с бархатною шапкою на голове, с острою саблею в руке. Дай, отец, руку! Забудем бывшее между нами. Что сделал перед тобою неправого - винюсь. Что же ты не даешь руки? - говорил Данило отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своем ни гнева, ни примирения.

- Отец! - вскричала Катерина, обняв и поцеловав его. - Не будь неумолим, прости Данила: он не огорчит больше тебя!

- Для тебя только, моя дочь, прощаю! - отвечал он, поцеловав ее и блеснув странно очами. Катерина немного вздрогнула: чуден показался ей и поцелуй, и странный блеск очей. Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненую свою руку пан Данило, передумывая, что худо и не по-козацки сделал, просивши прощения, не будучи ни в чем виноват.

#### IV

Блеснул день, но не солнечный: небо хмурилось и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и беспокойна.

- Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился!

- Какой сон, моя любая пани Катерина?

- Снилось мне, чудно, право, и так живо, будто наяву, - снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видали у есаула. Но прошу тебя, не верь сну. Таких глупостей не привидится! Будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если бы ты слышал, что он говорил...

- Что же он говорил, моя золотая Катерина?

- Говорил: "Ты посмотри на меня, Катерина, я хорош! Люди напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами!" Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась.

- Да, сны много говорят правды. Однако ж знаешь ли ты, что за горою не так спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мне Горобець прислал сказать, чтобы я не спал. Напрасно только он заботится; я и без того не сплю. Хлопцы мои в эту ночь срубили двенадцать засеков. Посполитство будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют и от батогов.

- А отец знает об этом?

- Сидит у меня на шее твой отец! я до сих пор разгадать его не могу. Много, верно, он грехов наделал в чужой земле. Что ж, в самом деле, за причина: живет около месяца и хоть бы раз развеселился, как добрый козак! Не захотел выпить меду! слышишь, Катерина, не захотел меду выпить, который я вытрусил у крестовских жидов. Эй, хлопец! - крикнул пан Данило. - Беги, малый, в погреб да принеси жидовского меду! Горелки даже не пьет! экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в господа Христа не верует. А? как тебе кажется?

- Бог знает что говоришь ты, пан Данило!

- Чудно, пани! - продолжал Данило, принимая глиняную кружку от козака, - поганые католики даже падки до водки; одни только турки не пьют. Что, Стецько, много хлебнул меду в подвале?

- Попробовал только, пан!

- Лжешь, собачий сын! вишь, как мухи напали на усы! Я по глазам вижу, что хватил с полведра. Эх, козаки! что за лихой народ! все готов товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян. А?

- Вот давно! а в прошедший...

- Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вот и турецкий игумен влазит в дверь! - проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтоб войти в дверь, тестя.

- А что ж это, моя дочь! - сказал отец, снимая с головы шапку и поправив пояс, на котором висела сабля с чудными камнями, - солнце уже высоко, а у тебя обед не готов.

- Готов обед, пан отец, сейчас поставим! Вынимай горшок с галушками! - сказала пани Катерина старой прислужнице, обтиравшей деревянную посуду. - Постой, лучше я сама выну, - продолжала Катерина, - а ты позови хлопцев.

Все сели на полу в кружок: против покута пан отец, по левую руку пан Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивернейших молодцов в синих и желтых жупанах.

- Не люблю я этих галушек! - сказал пан отец, немного поевши и положивши ложку, - никакого вкуса нет!

"Знаю, что тебе лучше жидовская лапша", - подумал про себя Данило.

- Отчего же, тесть, - продолжал он вслух, - ты говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделаны, что ли? Моя Катерина так делает галушки, что и гетьману редко достается есть такие. А брезгать ими нечего. Это христианское кушанье! Все святые люди и угодники божии едали галушки.

Ни слова отец; замолчал и пан Данило.

Подали жареного кабана с капустою и сливами.

- Я не люблю свинины! - сказал Катеринин отец, выгребая ложкою капусту.

- Для чего же не любить свинины? - сказал Данило. - Одни турки и жида не едят свинины.

Еще суровее нахмурился отец.

Только одну лемишку с молоком и ел старый отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду.

Пообедавши, заснул Данило молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данило, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр. За Днепром синеют леса. Мелькает сверху прояснившееся ночное небо. Но не далеким небом и не синим лесом любитесь пан Данило: глядит он на выдавшийся мыс, на котором чернел старый замок. Ему почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко. Но все тихо. Это, верно, показалось ему. Слышно только, как глухо шумит внизу Днепр и с трех сторон, один за другим, отдаются удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует. Он, как старик, ворчит и ропщет; ему все не мило; все переменилось около него; тихо враждует он с прибережными горами, лесами, лугами и несет на них жалобу в Черное море.

Вот по широкому Днепру зачернела лодка, и в замке снова как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данило, и выбежал на свист верный хлопец.

- Бери, Стецько, с собою скорее острую саблю да винтовку да ступай за мною!

- Ты идешь? - спросила пани Катерина.

- Иду, жена. Нужно обсмотреть все места, все ли в порядке.

- Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и клонит. Что, если мне приснится то же самое? я даже не уверена, точно ли то сон был, - так это происходило живо.

- С тобою старуха остается; а в сенях и на дворе спят козаки!

- Старуха спит уже, а козакам что-то не верится. Слушай, пан Данило, замкни меня в комнате, а ключ возьми с собою. Мне тогда не так будет страшно; а козаки пусть лягут перед дверями.

- Пусть будет так! - сказал Данило, стирая пыль с винтовки и сыпля на полку порох.

Верный Стецько уже стоял одетый во всей козацкой сбруе. Данило надел смушевую шапку, закрыл окошко, задвинул засовами дверь, замкнул и вышел потихоньку из двора, промеж спавшими своими козаками, в горы.

Небо почти все прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то все бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох... Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывавший срубленный засек. Кто-то в красном жупане, с двумя пистолетами, с саблею при боку, спустился с горы.

- Это тесть! - проговорил пан Данило, разглядывая его из-за куста. - Зачем и куда ему идти в эту пору? Стецько! не зевай, смотри в оба глаза, куда возьмет дорогу пан отец. - Человек в красном жупане сошел на самый берег и поворотил к выдавшемуся мысу. - А! вот куда! - сказал пан Данило. - Что, Стецько, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло.

- Да, верно, не в другое место, пан Данило! иначе мы бы видели его на другой стороне. Но он пропал около замка.

- Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут что-нибудь да кроется. Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец твой недобрый человек; не так он и делал все, как православный.

Уже мелькнули пан Данило и его верный хлопец на выдавшемся берегу. Вот уже их и не видно. Непробудный лес, окружавший замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо засветилось. Внизу стоят козаки и думают, как бы влезть им. Ни ворот, ни дверей не видно. Со двора, верно, есть ход; но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки.

- Что я думаю долго! - сказал пан Данило, увидя перед окном высокий дуб. - Стой тут, мальй! я полезу на дуб; с него прямо можно глядеть в окошко.

Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не звенела, и, ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко все еще светилось. Присевши на сук, возле самого окна уцепился он рукою за дерево и глядит: в комнате и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки. Висит оружие, но все странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрипа дверь. Входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белою скатертью. "Это он, это тесть!" Пан Данило опустился немного ниже и прижался крепче к дереву.

Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет. Он пришел пасмурен, не в духе, сдернул со стола скатерть - и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет. Только не смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на мраморе. Тут поставил он на стон горшок и начал кидать в него какие-то травы.

Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жупана; вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотшою. Глянул в лицо - и лицо стало переменяться: нос вытянулся и повиснул над губами; рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, - и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула. "Правдив сон твой, Катерина!" - подумал Бурульбаш.

Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее переменяться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем как будто потухнул. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам, и вдруг пропал, и стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блестит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо, и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы, не спит ли), что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли; около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль; висит люлька... но вместо образов выглядят страшные лица; на лежанке... но сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно. И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет, и мелькают на стене знаки? Вот она как-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по плечам ее, будто светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь бело-прозрачное утреннее небо

лется едва приметный алый свет зари; брови слабо темнеют... Ах! это Катерина! Тут почувствовал Данило, что члены у него оковались; он силился говорить, но губы шевелились без звука.

Неподвижно стоял колдун на своем месте.

- Где ты была? - спросил он, и стоявшая перед ним затрепетала.

- О! зачем ты меня вызвал? - тихо простонала она. - Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве: и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу...

Отец! - тут она вперила в колдуна бледные очи, - зачем ты зарезал мать мою?

Грозно колдун погрозил пальцем.

- Разве я тебя просил говорить про это? - И воздушная красавица задрожала. - Где теперь пани твоя?

- Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать. Мне вдруг сделалось пятнадцать лет. Я вся стала легка, как птица. Зачем ты меня вызвал?

- Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера? - спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать.

- Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это! Бедная Катерина! она многого не знает из того, что знает душа ее.

"Это Катерина душа", - подумал пан Данило; но все еще не смел пошевелиться.

- Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?

- Ты опять за старое! - грозно прервал колдун. - Я поставлю на своем, я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит меня!..

- О, ты чудовище, а не отец мой! - простонала она. - Нет, не будет по-твоему! Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но один только бог может заставлять ее делать то, что ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решится на богопротивное дело. Отец, близок Страшный суд! Если б ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любому, верному мужу. Если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что бог не любит клятвопреступных и неверных душ.

Тут вперила она бледные очи свои в окошко, под которым сидел пан Данило, и недвижно остановилась...

- Куда ты глядишь? Кого ты там видишь? - закричал колдун.

Воздушная Катерина задрожала. Но уже пан Данило был давно на земле и пробирался с своим верным Стецьком в свои горы. "Страшно, страшно!" - говорил он про себя, почувствовав какую-то робость в козацком сердце, и скоро прошел двор свой, на котором так же крепко спали козаки, кроме одного, сидевшего на сторо'же и кутившего люльку. Небо все было засеяно звездами.

V

- Как хорошо ты сделал, что разбудил меня! - говорила Катерина, протирая очи шитым рукавом своей сорочки и разглядывая с ног до головы стоявшего перед нею мужа. - Какой страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя! Ух!.. Мне казалось, что я умираю...

- Какой же сон, уж не этот ли? - И стал Бурульбаш рассказывать жене своей все им виденное.

- Ты как это узнал, мой муж? - спросила, изумившись, Катерина. - Но нет, многое мне неизвестно из того, что ты рассказываешь. Нет, мне не снилось, чтобы отец убил мать

мою; ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет, Данило, ты не так рассказываешь. Ах, как страшен отец мой!

- И не диво, что тебе многое не виделось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знает душа. Знаешь ли, что отец твой антихрист? Еще в прошлом году, когда собирался я вместе с ляхами на крымцев (тогда еще я держал руку этого неверного народа), мне говорил игумен Братского монастыря, - он, жена, святой человек, - что антихрист имеет власть вызывать душу каждого человека; а душа гуляет по своей воле, когда заснет он, и летает вместе с архангелами около божией светлицы. Мне с первого раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе; я бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым племенем.

- Данило! - сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая, - я ли виновна в чем перед тобою? Я ли изменила тебе, мой любимый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Не верно разве служила тебе? сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселе с молодецкой пирушки? тебе ли не родила чернобрового сына?..

- Не плачь, Катерина, я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце твоём.

- Нет, не называй его отцом моим! Он не отец мне. Бог свидетель, я отрекаюсь от него, отрекаюсь от отца! Он антихрист, богоотступник! Пропадай он, тони он - не подам руки спасти его. Сохни он от тайной травы - не подам воды напиться ему. Ты у меня отец мой!

## VI

В глубоком подвале у пана Данила, за тремя замками, сидит колдун, закованный в железные цепи; а подале над Днепром горит бесовский его замок, и алые, как кровь, волны хлебщут и толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство и не за богопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун: им судия бог; сидит он за тайное предательство, за сговоры с врагами православной Русской земли - продать католикам украинский народ и выжечь христианские церкви. Угрюм колдун; дума черная, как ночь, у него в голове. Всего только один день остается жить ему, а завтра пора распрощаться с миром. Завтра ждет его казнь. Не совсем легкая казнь его ждет; это еще милость, когда сварят его живого в котле или сдерут с него грешную кожу. Угрюм колдун, поникнул головою. Может быть, он уже и кается перед смертным часом, только не такие грехи его, чтобы бог простил ему. Вверху перед ним узкое окно, переплетенное железными палками. Гремя цепями, подвелся он к окну поглядеть, не пройдет ли его дочь. Она кротка, не памятозловна, как голубка, не умилосердится ли над отцом... Но никого нет. Внизу бежит дорога; по ней никто не пройдет. Пониже ее гуляет Днепр; ему ни до кого нет дела: он бушует, и унывно слышать колоднику однозвучный шум его.

Вот кто-то показался по дороге - это козак! И тяжело вздохнул узник. Опять все пусто. Вот кто-то вдали спускается... Развеивается зеленый кунтуш... горит на голове золотой кораблик... Это она! Еще ближе прикинул он к окну. Вот уже подходит близко...

- Катерина! дочь! умилосердись, подай милостыню!..

Она нема, она не хочет слушать, она и глаз не наведет на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всем мире. Унывно шумит Днепр. Грусть залегает в сердце. Но ведает ли эту грусть колдун?

День клонится к вечеру. Уже солнце село. Уже и нет его. Уже и вечер: свежо; где-то мычит вол; откуда-то навеваются звуки, - верно, где-нибудь народ идет с работы и веселится; по Днепру мелькает лодка... кому нужда до колодника! Блеснул на небе серебряный серп. Вот кто-то идет с противной стороны по дороге. Трудно разглядеть в темноте. Это возвращается Катерина.

- Дочь, Христа ради! и свирепые волчята не станут рвать свою мать, дочь, хотя взгляни на преступного отца своего! - Она не слушает и идет. - Дочь, ради несчастной матери!... - Она остановилась. - Приди принять последнее мое слово!

- Зачем ты зовешь меня, богоотступник? Не называй меня дочерью! Между нами нет никакого родства. Чего ты хочешь от меня ради несчастной моей матери?

- Катерина! Мне близок конец: я знаю, меня твой муж хочет привязать к кобыльему хвосту и пустить по полю, а может, еще и страшнейшую выдумает казнь...

- Да разве есть на свете казнь, равная твоим грехам? Жди ее; никто не станет просить за тебя.

- Катерина! меня не казнь страшит, но муки на том свете... Ты невинна, Катерина, душа твоя будет летать в рае около бога; а душа богоотступного отца твоего будет гореть в огне вечном, и никогда не угаснет тот огонь: все сильнее и сильнее будет он разгораться: ни капли росы никто не уронит, ни ветер не пахнет...

- Этой казни я не властна умалить, - сказала Катерина, отвернувшись.

- Катерина! стой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, как добр и милосерд бог. Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым.

- Что я могу сделать, чтобы спасти твою душу? - сказала Катерина, - мне ли, слабой женщине, об этом подумать!

- Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы все кинул. Покаюсь: пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу, день и ночь буду молиться богу. Не только скоромного, не возьму рыбы в рот! не постелю одежды, когда стану спать! и все буду молиться, все молиться! И когда не снимет с меня милосердие божие хотя сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю или замуруюсь в каменную стену; не возьму ни пищи, ни питья и умру; а все добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей правили по мне панихиду.

Задумалась Катерина.

- Хотя я отопру, но мне не расковать твоих цепей.

- Я не боюсь цепей, - говорил он. - Ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги? Нет, я напустил им в глаза туман и вместо руки протянул сухое дерево. Вот я, гляди, на мне нет теперь ни одной цепи! - сказал он, выходя на середину. - Я бы и стен этих не побоялся и прошел бы сквозь них, но муж твой и не знает, какие это стены. Их строил святой схимник, и никакая нечистая сила не может отсюда вывести колодника, не отомкнув тем самым ключом, которым замыкал святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себе, неслыханный грешник, когда выйду на волю.

- Слушай, я выпущу тебя; но если ты меня обманываешь, - сказала Катерина, остановившись пред дверью, - и, вместо того чтобы покаяться, станешь опять братом черту?

- Нет, Катерина, мне не долго остается жить уже. Близок и без казни мой конец. Неужели ты думаешь, что я предам сам себя на вечную муку?

Замки загремели.

- Прощай! храни тебя бог милосердый, дитя мое! - сказал колдун, поцеловав ее.

- Не прикасайся ко мне, неслыханный грешник, уходи скорее!.. - говорила Катерина. Но его уже не было.

- Я выпустила его, - сказала она, испугавшись и дико осматривая стены. - Что я стану теперь отвечать мужу? - Я пропала. Мне живой теперь остается зарыться в могилу! - и, зарыдав, почти упала она на пень, на котором сидел колодник. - Но я спасла душу, - сказала она тихо. - Я сделала богоугодное дело. Но муж мой... Я в первый раз обманула его. О, как страшно, как трудно будет мне перед ним говорить неправду. Кто-то идет! Это он! муж! - вскрикнула она отчаянно и без чувств упала на землю.

## VII

- Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько! - услышала Катерина, очнувшись, и увидела перед собою старую прислужницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шептала и, протянув над нею иссохшую руку свою, опрыскивала ее холодной водой.

- Где я? - говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. - Передо мною шумит Днепр, за мною горы... куда завела ты меня, баба?

- Я тебя не завела, а вывела; вынесла на руках моих из душного подвала. Замкнула ключиком, чтобы тебе не досталось чего от пана Данила.

- Где же ключ? - сказала Катерина, поглядывая на свой пояс. - Я его не вижу.

- Его отвязал муж твой, поглядеть на колдуна, дитя мое.

- Поглядеть?.. Баба, я пропала! - вскрикнула Катерина.

- Пусть бог милует нас от этого, дитя мое! Молчи только, моя паняночка, никто ничего не узнает!

- Он убежал, проклятый антихрист! Ты слышала, Катерина? он убежал! - сказал пан Данило, приступая к жене своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его.

Помертвела жена.

- Его выпустил кто-нибудь, мой любимый муж? - проговорила она, дрожа.

- Выпустил, правда твоя; но выпустил черт. Погляди, вместо него бревно заковано в железо. Сделал же бог так, что черт не боится козачьих лап! Если бы только думу об этом держал в голове хоть один из моих козаков и я бы узнал... я бы и казни ему не нашел!

- А если бы я?.. - невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась.

- Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мне была. Я бы тебя зашил тогда в мешок и утопил бы на самой середине Днепра!..

Дух занялся у Катерины, и ей чудилось, что волоса стали отделяться на голове ее.

### VIII

На пограничной дороге, в корчме, собрались ляхи и пируют уже два дни. Что-то немало всей сволочи. Сошлись, верно, на какой-нибудь наезд: у иных и мушкеты есть; чокают шпоры, брякают сабли. Паны веселятся и хвастают, говорят про небывалые дела свои, насмеваются над православьем, зовут народ украинский своими холопьями и важно крутят усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавках. С ними и ксендз вместе. Только и ксендз у них на их же стать, и с виду даже не похож на христианского попа: пьет и гуляет с ними и говорит нечестивым языком своим срамные речи. Ни в чем не уступает им и челядь: позакидали назад рукава оборванных жупанов своих и ходят козырем, как будто бы что путное. Играют в карты, бьют картами один другого по носам. Набрали с собою чужих жен. Крик, драка!.. Паны беснуются и отпускают шутики: хватают за бороду жида, малюют ему на нечестивом лбу крест; стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна на Русской земле и от татар. Видно, уже ей бог определил за грехи терпеть такое посрамление! Слышно между общим содомом, что говорят про заднепровский хутор пана Данила, про красавицу жену его... Не на доброе дело собралась эта шайка!

### IX

Сидит пан Данило за столом в своей светлице, подпершись локтем, и думает. Сидит на лежанке пани Катерина и поет песню.

- Чего-то грустно мне, жена моя! - сказал пан Данило. - И голова болит у меня, и сердце болит. Как-то тяжело мне! Видно, где-то недалеко уже ходит смерть моя.

"О мой ненаглядный муж! приинкни во мне головою своею! Зачем ты приголубливаешь к себе такие черные думы", - подумала Катерина, да не посмела сказать. Горько ей было, повинной голове, принимать мужние ласки.

- Слушай, жена моя! - сказал Данило, - не оставляй сына, когда меня не будет. Не будет тебе от бога счастья, если ты кинешь его, ни в том, ни в этом свете. Тяжело будет гнить моим костям в сырой земле; а еще тяжелее будет душе моей.

- Что говоришь ты, муж мой! Не ты ли издевался над нами, слабыми женами? А теперь сам говоришь, как слабая жена. Тебе еще долго нужно жить.

- Нет, Катерина, чует душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свете. Времена лихие приходят. Ох, помню, помню я годы; им, верно, не воротиться! Он был еще жив, честь и слава нашего войска, старый Конашевич! Как будто перед очами моими проходят теперь козацкие полки! Это было золотое время, Катерина! Старый гетьман сидел на

вороном коне. Блестела в руке булава; вокруг сердюки; по сторонам шевелилось красное море запорожцев. Стал говорить гетьман - и все стало как вкопанное. Заплакал старичина, как зачал вспоминать нам прежние дела и сечи. Эх, если б ты знала, Катерина, как резались мы тогда с турками! На голове моей виден и доньне рубец. Четыре пули пролетело в четырех местах сквозь меня. И ни одна из ран не зажила совсем. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие каменя шапками черпали козаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали! Ох, не воевать уже мне так! Кажется, и не стар, и телом бодр; а меч козацкий вываливается из рук, живу без дела, и сам не знаю, для чего живу. Порядку нет в Украине: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою. Нет старшей головы над всеми. Шляхетство наше все переменило на польский обычай, переняло лукавство... продало душу, принявши унию. Жидовство угнетает бедный народ. О время, время! минувшее время! куда подевались вы, лета мои?.. Ступай, малый, в подвал, принеси мне кухоль меду! Выпью за прежнюю долю и за давние годы!

- Чем будем принимать гостей, пан? С луговой стороны идут ляхи! - сказал, вошедши в хату, Стецько.

- Знаю, зачем идут они, - вымолвил Данило, подымаясь с места. - Седлайте, мои верные слуги, коней! надевайте сбрую! сабли наголо! не забудьте набрать и свинцового толокна. С честью нужно встретить гостей!

Но еще не успели козаки сесть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавший осенью с дерева на землю лист, усеяли собою гору.

- Э, да тут есть с кем переведаться! - сказал Данило, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях в золотой сбруе. - Видно, еще раз доведется нам погулять на славу! Натешься же, козацкая душа, в последний раз! Гуляйте, хлопцы, пришел наш праздник!

И пошла по горам потеха, и запировал пир: гуляют мечи, летают пули, ржут и топчут кони. От крику безумеет голова; от дыму слепнут очи. Все перемешалось. Но козак чует, где друг, где недруг; прошумит ли пуля - валится лихой седок с коня; свистнет сабля - катится по земле голова, бормоча языком несвязные речи.

Но виден в толпе красный верх козацкой шапки пана Данила; мечется в глаза золотой пояс на синем жупане; вихрем вьется грива вороного коня. Как птица, мелькает он там и там; покрикивает и машет дамасской саблей и рубит с правого и левого плеча. Руби, козак! гуляй, козак! тешь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны! топчи под ноги золото и каменя! Коли, козак! гуляй, козак! но оглянись назад: нечестивые ляхи зажигают уже хаты и угоняют напуганный скот. И, как вихорь, поворотил пан Данило назад, и шапка с красным верхом мелькает уже возле хат, и редееет вокруг его толпа.

Не час, не другой бьются ляхи и козаки. Не много становится тех и других. Но не устает пан Данило: сбивает с седла длинным копьём своим, топчет лихим конем пеших. Уже очищается двор, уже начали разбегаться ляхи; уже обдирают казаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую; уже пан Данило сбивается в погоню, и взглянул, чтобы созвать своих... и весь закипел от ярости: ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. Данило погнал коня прямо к нему... Козак, на гибель идешь... Мушкет гремит - и колдун пропал за горою. Только верный Стецько видел, как мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался козак и свалился на землю. Кинулся верный Стецько к своему пану, - лежит пан его, протянувшись на земле и закрывши ясные очи. Алая кровь закипела на груди. Но, видно, почуял верного слугу своего. Тихо приподнял веки, блеснул очами: "Прощай, Стецько! скажи Катерине, чтобы не покидала сына! Не покидайте и вы его, мои верные слуги!" - и затих. Вылетела козацкая душа из дворянского тела; посинели уста. Спит козак непробудно.

Зарыдал верный слуга и машет рукою Катерине: "Ступай, пани, ступай: подгулял твой пан. Лежит он пьянехонек на сырой земле. Долго не протрезвиться ему!"

Всплеснула руками Катерина и повалилась, как сноп, на мертвое тело. "Муж мой, ты ли лежишь тут, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою!"

приподымись! погляди хоть раз на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко... Но ты молчишь, ты молчишь, мой ясный пан! Ты посинел, как Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой холодный, мой пан? видно, не горючи мои слезы, невмочь им согреть тебя! Видно, не громок плач мой, не разбудить им тебя! Кто же поведет теперь полки твои? Кто понесется на твоём вороном конике, громко загукает и замашет саблей пред козаками? Козаки, козаки! где честь и слава ваша? Лежит честь и слава ваша, закрывши очи, на сырой земле. Похороните же меня, похороните вместе с ним! засыпьте мне очи землею! надавите мне кленовые доски на белые груди! Мне не нужна больше красота моя!"

Плачет и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачет старый есаул Горобець на помощь.

Х

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелхнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибережным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмеваются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает - и человек, и зверь, и птица; а бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе. Черный лес, униженный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длинною тенью своею, - напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня; виден за столько вдаль, за сколько видеть может человечесье око. Нежась и прижимаясь ближе к берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную струю; и она вспыхиваете будто полоса дамасской сабли; а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в мире! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир - страшен тогда Днепр! Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать козака, выпроважая своего сына в войско. Разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватая его за стремя, ловит удила, и ломает над ним руки, и заливаются горячими слезами.

Дико чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется об берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из козаков осмелился гулять в челне в то время, когда рассердился старый Днепр? Видно, ему не ведомо, что он плотает, как мух, людей.

Лодка причалила, и вышел из нее колдун. Невесел он; ему горька тризна, которую свершили козаки над убитым своим паном. Не мало поплатились ляхи: сорок четыре пана со всею сбруею и жупанами да тридцать три холопа изрублены в куски; а остальных вместе с конями угнали в плен продать татарам.

По каменным ступеням спустился он, между обгорелыми пнями, вниз, где, глубоко в земле, вырыта была у него землянка. Тихо вошел он, не скрипнувши дверью, поставил на стол, закрытый скатертью, горшок и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые травы; взял кухоль, выделанный из какого-то чудного дерева, почерпнул им воды и стал лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания. Показался розовый свет в

светлице; и страшно было глянуть тогда ему в лицо: оно казалось кровавым, глубокие морщины только чернели на нем, а глаза были как в огне. Нечестивый грешник! уже и борода давно поседела, и лицо изрыто морщинами, и высох весь, а все еще творит богопротивный умысел. Посреди хаты стало веять белое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло в лицо его. Но отчего же вдруг стал он недвижим, с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его голове? В облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо. Непрошеное, незваное, явилось оно к нему в гости; чем далее, выяснилось больше и вперило неподвижные очи. Черты его, брови, глаза, губы - все незнакомое ему. Никогда во всю жизнь свою он его не видывал. И страшного, кажется, в нем мало, а непреодолимый ужас напал на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако так же неподвижно глядела на него. Облако уже и пропало; а неведомые черты еще резче выказывались, и острые очи не отрывались от него. Колдун весь побелел как полотно. Диким, не своим голосом вскрикнул, опрокинул горшок... Все пропало.

## XI

- Спокой себя, моя любая сестра! - говорил старый есаул Горобець. - Сны редко говорят правду.

- Приляг, сестрица! - говорила молодая его невестка. - Я позову старуху, ворожею; против ее никакая сила не устоит. Она выльет переполох тебе.

- Ничего не бойся! - говорил сын его, хватаясь за саблю, - никто тебя не обидит.

Пасмурно, мутными глазами глядела на всех Катерина и не находила речи. "Я сама устроила себе погибель. Я выпустила его". Наконец она сказала:

- Мне нет от него покоя! Вот уже десять дней я у вас в Киеве; а горя ни капли не убавилось. Думала, буду хоть в тишине растить на месть сына... Страшен, страшен привиделся он мне во сне! Боже сохрани и вам увидеть его! Сердце мое до сих пор бьется. "Я зарублю твое дитя, Катерина, - кричал он, - если не выйдешь за меня замуж!.." - и, зарывав, кинулась она к колыбели, а испуганное дитя протянуло ручонки и кричало.

Кипел и сверкал сын есаула от гнева, слыша такие речи.

Расходился и сам есаул Горобець:

- Пусть попробует он, окаянный антихрист, прийти сюда; отведаст, бывает ли сила в руках старого козака. Бог видит, - говорил он, подымая кверху прозорливые очи, - не летел ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! застал уже на холодной постеле, на которой много, много улеглось козацкого народа. Зато разве не пышна была тризна по нем? выпустили ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, мое дитя! никто не посмеет тебя обидеть, разве ни меня не будет, ни моего сына.

Кончив слова свои, старый есаул пришел к колыбели, и дитя, увидевши висевшую на ремне у него в серебряной оправе красную люльку и гаман с блестящим огнивом, протянуло к нему ручонки и засмеялось.

- По отцу пойдет, - сказал старый есаул, снимая с себя люльку и отдавая ему, - еще от колыбели не отстал, а уже думает курить люльку.

Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сговорились провести ночь вместе, и мало погодя уснули все. Уснула и Катерина.

На дворе и в хате все было тихо; не спали только козаки, стоявшие на сторо'же. Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, и за нею проснулись все. "Он убит, он зарезан!" - кричала она и кинулась к колыбели.

Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, что в ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, не зная, что думать о неслыханном злодействе.

## XII

Далеко от Украинского края, проехавши Польшу, минуя и многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают

они вправо и влево землю и обковывают ее каменной толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахию и в Седмиградскую область и громадою стали в виде подковы между галичским и венгерским народом. Нет таких гор в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их; а на вершину иных не заходила и нога человечья. Чуден и вид их: не задорное ли море выбежало в бурю из широких берегов, вскинуло вихрем безобразные волны, и они, окаменев, остались недвижимы в воздухе? Не оборвались ли с неба тяжелые тучи и загромождили собою землю? ибо и на них такой же серый цвет, а белая верхушка блестит и искрится при солнце. Еще до Карпатских гор услышишь русскую молвь, и за горами еще кой-где отзовется как будто родное слово; а там уже и вера не та, и речь не та. Живет немалолюдный народ венгерский; ездит на конях, рубится и пьет не хуже козака; а за конную сбрую и дорогие кафтаны не скупится вынимать из кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера. Как стекло, недвижимы они и, как зеркало, отдают в себе голые вершины гор и зеленые их подошвы.

Но кто среди ночи, блещут или не блещут звезды, едет на огромном вороном коне? Какой богатырь с нечеловечьим ростом скачет под горами, над озерами, отсвечивается с исполинским конем в недвижных водах, и бесконечная тень его страшно мелькает по горам? Блещут чеканенные латы; на плече пика; гремит при седле сабля; шелом надвинут; усы чернеют; очи закрыты; ресницы опущены - он спит. И, сонный, держит повод; и за ним сидит на том же коне младенец-паж и также спит и, сонный, держится за богатыря. Кто он, куда, зачем едет? - кто его знает. Не день, не два уже он переезжает горы. Блеснет день, взойдет солнце, его не видно; изредка только замечали горцы, что по горам мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не пройдет по нем. Чуть же ночь наведет темноту, снова он виден и отдается в озерах, и за ним, дрожа, скачет тень его. Уже проехал много он гор и взъехал на Криван. Горы этой нет выше между Карпатом; как царь подымается она над другими. Тут остановился конь и всадник, и еще глубже погрузился в сон, и тучи, спустясь, закрыли его.

### ХІІІ

"Тс... тише, баба! не стучи так, дитя мое заснуло. Долго кричал сын мой, теперь спит. Я пойду в лес, баба! Да что же ты так глядишь на меня? Ты страшна: у тебя из глаз вытягиваются железные клещи... ух, какие длинные! и горят как огонь! Ты, верно, ведьма! О, если ты ведьма, то пропади отсюда! ты украдешь моего сына. Какой бестолковый этот есаул: он думает, мне весело жить в Киеве; нет, здесь и муж мой, и сын, кто же будет смотреть за хатой? Я ушла так тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться молодою - это совсем нетрудно: нужно танцевать только; гляди, как я танцую..." И, проговорив такие несвязные речи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на все стороны и упираясь руками в боки. С визгом притопывала она ногами; без меры, без такта звенели серебряные подковы. Незаплетенные черные косы метались по белой шее. Как птица, не останавливаясь, летела она, размахивая руками и кивая головою, и казалось, будто, обессилев, или грянется наземь, или вылетит из мира.

Печально стояла старая няня, и слезами налились ее глубокие морщины; тяжкий камень лежал на сердце у верных хлопцев, глядевших на свою пани. Уже совсем ослабела она и лениво топала ногами на одном месте, думая, что танцует горлицу. "А у меня монисто есть, парубки! - сказала она, наконец остановившись, - а у вас нет!.. Где муж мой? - вскричала она вдруг, выхватив из-за пояса турецкий кинжал. - О! это не такой нож, какой нужно. - При этом и слезы и тоска показались у ней на лице. - У отца моего далеко сердце; он не достанет до него. У него сердце из железа выковано. Ему выковала одна ведьма на пекельном огне. Что ж нейдет отец мой? разве он не знает, что пора заколоть его? Видно, он хочет, чтоб я сама пришла... - И, не докончив, чудно засмеялась. - Мне пришла на ум забавная история: я вспомнила, как погребали моего мужа. Ведь его живого погребли... какой смех забирал меня!.. Слушайте, слушайте!" И вместо слов начала она петь песню:

Біжить возок кривавенький;  
У тім возку козак лежить,  
Постріляний, порубаний.  
В правій ручці дротик держить,  
З того дроту кривця бежить;  
Біжить река кривавая.  
Над річкою явор стоїть,  
Над явором ворон криче.  
За козаком мати плаче.  
Не плачь, мати, не журися!  
Бо вже твій син оженився,  
Та взяв женку паняночку,  
В чистом полі земляночку,  
І без дверець, без оконць.  
Та вже пісні вийшов кінець.  
Танцівала рыба з раком...  
А хто мене не полюбить, трясця его матерь!

Так перемешивались у ней все песни. Уже день и два живет она в своей хате и не хочет слышать о Киеве, и не молится, и бежит от людей, и с утра до позднего вечера бродит по темным дубравам. Острые сучья царапают белое лицо и плеча; ветер треплет расплетенные косы; давние листья шумят под ногами ее - ни на что не глядит она. В час, когда вечерняя заря тухнет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходит в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещенные дети, рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве; из днепровских волн выбегают вереницами погубившие свои души девы; волосы льются с зеленой головы на плечи, вода, звучно журча, бежит с длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмежаются, щеки пылают, очи выманивают душу... она сгорела бы от любви, она зацеловала бы... Беги, крещеный человек! уста ее - лед, постель - холодная вода; она защекочет тебя и утащит в реку. Катерина не глядит ни на кого, не боится, безумная, русалок, бегаёт поздно с ножом своим и ищет отца.

С ранним утром приехал какой-то гость, статный собою, в красном жупане, и осведомляется о пане Даниле; слышит все, утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Он-де воевал вместе с покойным Бурульбашем; вместе рубились они с крымцами и турками; ждал ли он, чтобы такой конец был пана Данила. Рассказывает еще гость о многом другом и хочет видеть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость; напоследок стала, как разумная, вслушиваться в его речи. Он повел про то, как они жили вместе с Данилом, будто брат с братом; как укрылись раз под греблею от крымцев... Катерина все слушала и не спускала с него очей.

"Она отойдет! - думали хлопцы, глядя на нее. - Этот гость вылечит ее! Она уже слушает, как разумная!"

Гость начал рассказывать между тем, как пан Данило, в час откровенной беседы, сказал ему: "Гляди, брат Копрян: когда волею божией не будет меня на свете, возьми к себе жену, и пусть будет она твоею женою..."

Страшно вонзила в него очи Катерина. "А! - вскрикнула она, - это он! это отец!" - и кинулась на него с ножом.

Долго боролся тот, стараясь вырвать у нее нож. Наконец вырвал, замахнулся - и совершилось страшное дело: отец убил безумную дочь свою.

Изумившиеся козаки кинулись было на него; но колдун уже успел вскочить на коня и пропал из виду.

За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская.

- А то что такое? - допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся на небе и больше похожие на облака серые и белые верхи.

- То Карпатские горы! - говорили старые люди, - меж ними есть такие, с которых век не сходит снег, а тучи пристают и ночуют там.

Тут показалось новое диво: облака слетели с самкой высокой горы, и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне, с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи.

Тут, меж дивившимся со страхом народом, один вскочил на коня и, диво озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за ним, торопливо, во всю мочь, погнал коня своего. То был колдун. Чего же так перепугался он? Со страхом взглядевшись в чудного рыцаря, узнал он на нем то же самое лицо, которое, незваное, показалось ему, когда он ворожил. Сам не мог он разуместь, отчего в нем все смутилось при таком виде, и, робко озираясь, мчался он на коне, покамест не застигнул его вечер и не проглянули звезды. Тут поворотил он домой, может быть, допросить нечистую силу, что значит такое диво. Уже он хотел перескочить с конем через узкую реку, выступившую рукавом сегеди дороги, как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и - чудо, засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волосы на голове колдуна. Дико закричал он и заплакал, как иступленный, и погнал коня прямо к Киеву. Ему чудилось, что все со всех сторон бежало ловить его: деревья, обступивши темным лесом и как будто живые, кивая черными бородами и вытягивая длинные ветви, силились задушить его; звезды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая всем на грешника; сама дорога, чудилось, мчалась по следам его. Отчаянный колдун летел в Киев к святым местам.

## XV

Одинок сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей с святой книги. Уже много лет, как он затворился в своей пещере. Уже сделал себе и дощатый гроб, в который ложился спать вместо постели. Закрыв святой старец свою книгу и стал молиться... Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист; очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался из очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

- Отец, молись! молись! - закричал он отчаянно, - молись о погибшей душе! - и грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул - и в ужасе отступил назад и выронил книгу.

- Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе.

- Нет? - закричал, как безумный, грешник.

- Гляди: святые буквы в книге налились кровью. Еще никогда в мире не бывало такого грешника!

- Отец, ты смеешься надо мною!

- Иди, окаянный грешник! не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе!

- Нет, нет! ты смеешься, не говори... я вижу, как раздвинулся рот твой: вот белеют рядами твои старые зубы!..

И как бешеный кинулся он - и убил святого схимника.

Что-то тяжко застонало, и стон перенесся через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие, сухие руки с длинными когтями; затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовал он. Все чудится ему как-то смутно. В ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля; и все, что ни есть перед глазами, покрывается как бы паутиною. Вскочивши на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная для чего. Едет он уже день, другой, а Канева все нет. Дорога та самая; пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей. Но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад к Киеву, и через день показался город; но не Киев, а Галич, город еще далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противную сторону и все вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там дейлось, то уже недосыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать; нет, сам он не знал отчего. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы и высокий Криван, накрывший свое темя, будто шапкою, серою тучею; а конь все несся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном величии всадник... Он силится остановиться, крепко натягивает удила; дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колдуну, что все в нем замерло, что недвижимый всадник шевелится и разом открыл свои очи; увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам... так страшно отдался в нем этот смех!

Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпата, как две капли воды схожих лицом на него.

Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу. Еще раз засмеялся рыцарь и кинул ее в пропасть. И все мертвецы вскочили в пропасть, подхватили мертвеца и вонзили в него свои зубы. Еще один, всех выше, всех страшнее, хотел подняться из земли; но не мог, не в силах был этого сделать, так велик вырос он в земле; а если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Седмиградскую и Турецкую землю; немного только подвинулся он, и пошло от того трясение по всей земле. И много попокидывалось везде хат. И много задавило народу.

Слышится часто по Карпату свист, как будто тысяча мельниц шумит колесами на воде. То в безвыходной пропасти, которой не видал еще ни один человек, страшный проходивший мимо, мертвецы грызут мертвеца. Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого: то оттого делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то близ моря гора, из которой выхватывается пламя и текут горящие реки. Но старики, которые живут и в Венгрии и в Галичской земле, лучше знают это и говорят: что то хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец и трясет землю.

## XVI

В городе Глухове собрался народ около старца бандуриста и уже с час слушал, как слепец играл на бандуре. Еще таких чудных песен и так хорошо не пел ни один бандурист. Сперва повел он про прежнюю гетьманщину, за Сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное было время: козачество было в славе; топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним. Пел и веселые песни старец и повоживал своими очами на народ, как будто зрящий; а пальцы, с проделанными к ним костями, летали как муха по струнам, и

казалось, струны сами играли; а кругом народ, старые люди, понутив головы, а молодые, подняв очи на старца, не смели и шептать между собою.

- Пойдите, - сказал старец, - я вам запою про одно давнее дело.

Народ сдвинулся еще теснее, и слепец запел:

"За пана Степана, князя Седмиградского, был князь Седмиградский королем и у ляхов, жило два козака: Иван да Петро. Жили они так, как брат с братом. "Гляди, Иван, все, что ни добудешь, - все пополам: когда кому веселье - веселье и другому; когда кому горе - горе и обоим; когда кому добыча - пополам добычу; когда кто в полон попадет - другой продай все и дай выкуп, а не то сам ступай в полон". И правда, все, что ни доставали козаки, все делили пополам; угоняли ли чужой скот или коней, все делили пополам.

\* \* \*

Воевал король Степан с турчином. Уже три недели воюет он с турчином, а все не может его выгнать. А у турчина был паша такой, что сам с десятью янычарами мог порубить целый полк. Вот объявил король Степан, что если сыщется смельчак и приведет к нему того пашу живого или мертвого, даст ему одному столько жалованья, сколько дает на все войско. "Пойдем, брат, ловить пашу!" - сказал брат Иван Петру. И поехали козаки, один в одну сторону, другой в другую.

\* \* \*

Поймал ли бы еще или не поймал Петро, а уже Иван ведет пашу арканом за шею к самому королю. "Бравый молодец!" - сказал король Степан и приказал выдать ему одному такое жалованье, какое получает все войско; и приказал отвести ему земли там, где он задумает себе, и дать скота, сколько пожелает. Как получил Иван жалованье от короля, в тот же день разделил все поровну между собою и Петром. Взял Петро половину королевского жалованья, но не мог вынести того, что Иван получил такую честь от короля, и затаил глубоко на душе месть.

\* \* \*

Ехали оба рыцаря на жалованную королем землю, за Карпат. Посадил козак Иван с собою на коня своего сына, привязав его к себе. Уже настали сумерки - они все едут. Младенец заснул, стал дремать и сам Иван. Не дремли, козак, по горам дороги опасные!.. Но у козака такой конь, что сам везде знает дорогу, не спотыкнется и не оступится. Есть между горами провал, в провале дна никто не видал; сколько от земли до неба, столько до дна того провала. По-над самым провалом дорога - два человека еще могут проехать, а трое ни за что. Стал бережно ступать конь с дремавшим козаком. Рядом ехал Петро, весь дрожал и притаил дух от радости. Оглянулся и толкнул названного брата в провал. И конь с козаком и младенцем полетел в провал.

\* \* \*

Ухватился, однако ж, козак за сук, и один только конь полетел на дно. Стал он карабкаться, с сыном за плечами, вверх; немного уже не добрался, поднял глаза и увидел, что Петро наставил пику, чтобы столкнуть его назад. "Боже ты мой праведный, лучше б мне не подымать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет пику столкнуть меня назад... Брат мой милый! коли меня пикой, когда уже мне так написано на роду, но возьми сына! чем безвинный младенец виноват, чтобы ему пропасть такою лютою смертью?" Засмеялся Петро и толкнул его пикой, и козак с младенцем полетел на дно. Забрал себе Петро все добро и стал жить, как паша. Табунов ни у кого таких не было, как у Петра. Овец и баранов нигде столько не было. И умер Петро.

\* \* \*

Как умер Петро, призвал бог души обоих братьев, Петра и Ивана, на суд. "Великий есть грешник сей человек! - сказал бог. - Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты сам ему казнь!" Долго думал Иван, вымышляя казнь, и наконец, сказал: "Великую обиду нанес мне сей человек: предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле. Выходу нет - никто не узнает, что кинуту было семя.

\* \* \*

Сделай же, боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья! чтобы последний в роде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете! и от каждого его злодейства чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах и, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил! А иуда Петро чтобы не в силах был подняться и оттого терпел бы муку еще горшую; и ел бы, как бешеный, землю, и корчился бы под землею!

\* \* \*

И когда придет час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы, его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, чтобы все потянулись от разных сторон земли грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки! А иуда Петро чтобы не мог подняться из земли, чтобы рвался грызть и себе, но грыз бы самого себя, а кости его росли бы, чем дальше, больше, чтобы чрез то еще сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самая страшная: ибо для человека нет большей муки, как хотеть отомстить и не мочь отомстить".

\* \* \*

"Страшна казнь, тобою выдуманная, человече! - сказал бог. - Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем!" И то все так сбылось, как было сказано: и доньне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чувствует, как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю..."

Уже слепец кончил свою песню; уже снова стал перебирать струны; уже стал петь смешные присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу... но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном, в старину случившемся деле.

## Федор Достоевский

**Об авторе:**

**Владимир Шулятиков. "НАЗАД К ДОСТОЕВСКОМУ!"<sup>61</sup>**

*"Immer rückwärts" - начертано на знамени представителей совершающегося ныне "культурного переворота": назад к Канту, назад к Фихте, назад к Гегелю, назад к Владимиру Соловьеву, назад к "романтизму", назад к "свободному искусству", назад к мистике, назад к "естественному праву" и т. д. В последнее время репертуар призывов "назад" обогатился, между прочим, призывом "назад к Достоевскому!" Память автора "Братьев Карамазовых" усиленно культивируется; за ним утверждается почетное звание "учителя жизни"; появился целый ряд новых исследований о нем. "В лице Достоевского мы имеем не только бесспорно, гениального художника, великого гуманиста и народолюбца, но и выдающийся философский талант. Из всех наших писателей почетное звание художника-философа принадлежит по праву Достоевскому; даже Толстой, поставленный рядом с ним, в этом отношении теряет в своих колоссальных размерах".*

*Такое, напр., категорическое заявление делает Г.С. Булгаков в своей статье: "Иван Карамазов (в романе Достоевского "Братья Карамазовы"), как философский тип".\* На его статье мы и намерены остановить внимание читателей: г. Булгаков яснее и полнее своих соотечественников по части культа Достоевского, яснее и полнее, напр., гг.*

61 "Курьер", 1903 г. No 287

Мережковского и Волынского, характеризует источники симпатий и интереса, пробужденных к "жестокому таланту".

\* См. его книгу "От марксизма к идеализму", стр. 81.

Г. Булгаков ограничил свою задачу монографическим анализом одного философского "типа": из всех произведений Достоевского наиболее гениальным, по мнению г. Булгакова, следует считать роман "Братья Карамазовы", а образ Ивана является в этом романе "самой яркой в философском отношении точкой". "Из всей галереи типов этого романа этот образ нам, русской интеллигенции, самый близкий, самый родной; мы сами болеем его страданиями, нам понятны его запросы. Вместе с тем образ этот возносит нас на такую головокружительную высоту, на которую философская мысль поднималась в лице только самых отважных своих служителей".

Секрет поклонения Достоевскому, таким образом, вскрыт. В типичнейшем герое Достоевского известная часть современной интеллигенции усматривает свой собственный портрет. Иван Карамазов дорог этой части интеллигенции, как носитель модных ныне веяний и настроений. Головокружительная высота, о которой говорит г. Булгаков, это - "высота" "идеалистического" мирозерцания.

Подобная "высота" сводится к тому, что герой Достоевского - как и новейшие "идеалисты" - чувствует растерянность перед процессом "громодно несущейся жизни"; отказывается видеть в нем "смысл" и "цель", и, в пароксизме пессимистического недоверия к эмпирической действительности, требует санкции "супранатурального", "трансцендентного". Названное недоверие диктует ему своеобразную критику передового умения о прогрессе, - которое г. Булгаков характеризует термином "религия". "Иван выражает сомнение относительно трех относительных верований этой религии: относительно обязательности нравственных норм, повелевающих жертвовать этому безличному прогрессу или благу других людей свои личное благо и интересы, затем относительно того, что можно назвать ценой прогресса, в котором счастье будущих поколений покупается за счет несчастья настоящих (чисто эвдемонистическая версия теории прогресса), наконец, относительно будущего этого человечества, для которого приносятся все эти жертвы".\*

\* Ibid, стр. 105.

Вот что ценит неоидеалист в мировоззрении Ивана Карамазова. В общем Иван рисуется воображению г. Булгакова, как тип великого мученика "идеи"; все сомнения, все колебания, которыми богата внутренняя жизнь Ивана, записываются последнему в актив, как нечто в высшей степени положительное, достойное дифирамба.

Другими словами, магический свет "идеалистической" критики заставляет видеть предмет далеко не в надлежащих очертаниях и красках, черное превращается в белое... На самом деле, все сомнения и колебания Ивана говорят лишь о "двойственности" исповедуемого им общественного мирозерцания, точнее, служат показателями того, что в глубине его душевного мира вели между собой тяжбу мотивы и, настроения, имевшие за собой различные общественные родословные,

В лице своего героя автор "Братьев Карамазовых" воплотил итоги собственных внутренних переживаний. История смены двух мировоззрений, которую пережил Достоевский, слишком общеизвестна, чтобы здесь излагать ее. Отметим лишь некоторые характерные особенности, сопровождавшие эту смену.

Достоевский выступил на литературное поприще, располагая крайне скудным запасом знания эмпирической действительности. Это был тип "одинокого человека", тип замкнувшегося в себя интеллигента, тип, выработанный культурной обстановкой дореформенной, "романтической" старины. Для своих произведений он пользовался,

главным образом, данными своего внутреннего опыта или же материалом, почерпнутым из изучения иностранных писателей. \* "Живых людей" он изучал мало, знакомился с ними при случайных встречах. \*\* Пребывание в "Мертвом доме" поставило его лицом к лицу с миром самой реальной "действительности". Но и там наплыв новых впечатлений не перевоспитал коренным образом его психического склада: среди обитателей "Мертвого дома" он продолжал жить, как и раньше, "замкнуто", был погружен в работу над внутренними переживаниями. \*\*\* Таким же "одиноким человеком", он остался, наконец, и во втором периоде своей литературной деятельности. Одним словом, различное идейное "содержание" вкладывалось в руки одной и той же психической формы".

\* Гофмана и Бальзака.

\*\* Подчеркиваем, что все типичнейшие герои произведений первого периода его литературной деятельности, напр., Покровский, Ордынов, Неточка Незванова, живут "одинаковой" жизнью, "жизнью резкого отчуждения от всего окружающего".

\*\*\* "Одиноким душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, судил себя неумолимо и строго..." - так характеризует он направление своей психической работы за время пребывания в "Мертвом доме".

"Субъективнейший из романистов" - назвал его один литератор\*, близко его знавший - который "все, что пишет, - переживает и чувствует", который рисует своих героев преимущественно "по образу и подобию своему". И действительно, его герои - дети его творческой "fiction" ""отголоски его настроений, отражения происходивших в его внутреннем мире конфликтов противоположных тенденций, наклонностей, интересов, взглядов.

\* Н. Страхов.

Центральный конфликт произошел между Достоевским, как носителем идеологии разночинной интеллигенции, и Достоевским, как пророком патриархально-буржуазных начал. Разночинные прогрессивные элементы были в нем побеждены, так как он не мог опереться на широкое знакомство с эмпирической действительностью, необходимо характеризующее истинных "разночинцев", и создание полной солидарности в "униженными и оскорбленными". Наклонность к "душевной замкнутости", к "эгоизму" открыла легкий путь к торжеству элементов противоположного порядка. Последние были заложены в глубине его внутреннего мира, как "наследие отцов", и для жившего преимущественно в сфере "личных" переживаний Достоевского как нельзя более естественным является обращение к ним; их культивировка.

Впрочем, о безусловной победе их над "противником" говорить не приходится. Победа была скорее "официальная". И после ее объявления борьба между враждующими элементами не прекращалась. Роман "Братья Карамазовы" как раз следует считать документом, красноречиво свидетельствующим об интенсивности этой борьбы. Подобное значение романа достаточно разъяснено новейшей литературной критикой. \*

\* Сошлемся, напр., на появившуюся в последней книжке "Русск. Богатства" статью Ал. Гуковского: "Границы анализа в литературной критике".

Иван Карамазов - не более, как запутавшийся в непримиримых противоречиях, вечно колеблющийся между двумя исключаящими друг друга общественными мировоззрениями человек. Игра этих противоречий исчерпывает все содержание его жизни. Он занят только тем, что носится с переживаниями своего "я".

Свой "эгоизм" он сам рельефно подчеркивает в знаменитой сцене беседы с Алешей в трактире. Мы имеем в виду то место беседы, где речь идет о "жажде жизни".

"Центростремительной силы - исповедуется он - еще страшно много на нашей планете, Алеша. Жить хочется, и я живу хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь, за то и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, и все-таки по старой памяти чтить его сердцем"...

Далее, Иван высказывает о своем желании съездить в Европу:

"...и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, - в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более".

Цитируя данные слова, г. Булгаков делает патетический комментарий: "Душа этого человека открыта для всего великого и прекрасного!"... ". Но... г. Булгаков, странным образом, забыл упомянуть о самом любопытном - об оценке, произведенного самим Иваном над собственными "великими и прекрасными" побуждениями. Напомним ее:

"И не от отчаяния буду плакать, - поясняет герой Достоевского, - а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упыюсь". Иван, по его словам, любит лишь проявления "первых своих молодых сил". Для Ивана, как типического эгоиста, представляют ценность лишь его собственные ощущения, чувства, эмоциональные комплексы.

Одним словом, обвинительная речь обратилась, по воле г. Булгакова, в похвальное слово, "contra" в "pro". Впрочем, если бы г. Булгаков разобрал, как следует, приведенную цитату, ему пришлось бы разрушить одну из "иллюзий", созданных идеалистической философией, - раскрыть "тайну" учения о примате автономной "личности", тайну учения о так называемом "субъекте развития". Это учение, сводящееся к апологии индивидуальных "переживаний", зиждется именно на указанных "эгоистических" предпосылках.

Мы не будем здесь подробно останавливаться на других отдельных чертах мирозерцания Ивана, давших повод критике - нео-идеалисту к произнесению ряда "похвальных слов", не будем анализировать всего цикла "противоречий", которыми "болеет" герой Достоевского. Ограничимся немногим. Отметим, во-первых, общую реальную подпочву, определившую для неверовавшего ни во что "трансцендентное" Ивана требование обосновать мораль и культ прогресса при помощи санкции этого "трансцендентного". Без "трансцендентного"? "Все позволено" - таково известное, излюбленное положение Ивана. Выставляя его, Иван говорил, именно, как представитель общественной группы, не участвующий активно в совершающемся росте жизни: в пределах того суженного социального кругозора, который он имел в своем распоряжении, действительно, реальная жизнь представлялась чем-то в роде "бессмысленного" хаоса, суженный социальный кругозор понижал его понятия о человечестве до понятия о сонме "диких и злых животных". Но Достоевский сообщил своему герою и смутные отголоски тех прогрессивных веяний и концепций, с которыми сам был некогда знаком, сообщил более высокую оценку жизни и человечества. В результате в душевном мире Ивана оказалось две "бездны" - два абсолютно непримиримых миропонимания. И Иван поспешил прибегнуть к способу фиктивного примирения: он объявил, что решение вопроса зависит от признания "тайны и авторитета". Решение было подсказано характером полученного им "наследия отцов": в этом "наследии" сохранялся большой запас элементов "авторитетной" и "патриархальной" психологии.

Затем два слова о проблеме "зла", о культе "страданий", исповедуемом Иваном Карамазовым. Позволяем себе выделить эту проблему из ряда других вопросов,

*возбуждаемых героем Достоевского, и остановился на ней потому, что с некоторых пор она начинает входить в большую моду среди современного интеллигентного общества - особенно с легкой руки нищенства, в основе которого лежит, как известно, апофеоз "великого страдания".*

*Только страдание является рычагом развития; все усовершенствование рода человеческого достигнуто страданием; отсутствие страдания знаменует собой застой, мещанскую пошлость; освобождение человечества от страданий, наступление царства всемирного счастья, было бы равносильно, поэтому, смерти человечества: такова квинтэссенция нищенской доктрины. Те же мысли, в своеобразной форме высказывает устами своего героя и Достоевский.*

*Итак, "зло", страдание необходимы. Подобная постановка дает г. Булгакову случаи лишним раз обратиться к своему излюбленному "коньку", "Вопрос, который с такой трагической силой и безумной отвагой ставит здесь Иван... есть вековечный вопрос метафизики, старый, как мир, вопрос, который, со времен Лейбница, стал называться проблемой теодицеи". "Проблема эта разрешима или устранима только путем метафизического", мистического "синтеза". Рекомендуются опять "фиктивное" решение.*

*Для анализа вопроса следует снова сделать справку о социальном происхождении идеи Ивана Карамазова.*

*В "культе страданий" интеллигент-"эготист", вечно колеблющийся между двумя плоскостями различных общественных миропониманий, узаконивает сложную игру собственных внутренних "переживаний, борьбу исключаящих друг друга "враждующих элементов". Для него, интеллигента, стоящего на распутье, "двуликого Януса", возможности прекращения данной борьбы не существует. Водворение душевной гармонии означало бы для него торжество одного из "противников" и полную гибель другого, что для "двуликого Януса" невыносимо и равносильно самоуничтожению. И осужденный, в силу занятого им социального положения, на "жестокое переживание", замкнувшийся в круг этих переживаний, он санкционирует их, как неперемное условие человеческого существования. Итоги своего внутреннего опыта он возводит на степень мирового закона.*

*Вот что означает постоянная проповедь Достоевского о "мучительстве", вот где корни "жестокых" сторон его таланта.*

Двойник

Петербургская поэма

Глава I

Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл наконец совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, как человек не вполне еще уверенный, проснулся ли он или всё еще спит, наяву ли и в действительности ли всё, что около него теперь совершается, или -- продолжение его беспорядочных сонных грез. Вскоре, однако ж, чувства господина Голядкина стали яснее и отчетливее принимать свои привычные, обыденные впечатления. Знакомо глянули на него зеленовато-грязноватые, закоптелые, пыльные стены его маленькой комнатки, его комод красного дерева, стулья под красное дерево, стол, окрашенный красною краскою, клеенчатый турецкий диван красноватого цвета с зелененькими цветочками и, наконец, вчера впопыхах снятое платье и брошенное комком на диване. Наконец, серый осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою заглянул к нему сквозь тусклое окно в комнату, что господин Голядкин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находится не в

тридесютом царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице, в Шестилавочной улице, в четвертом этаже одного весьма большого, капитального дома, в собственной квартире своей. Сделав такое важное открытие, господин Голядкин судорожно закрыл глаза, как бы сожалея о недавнем сне и желая его воротить на минутку. Но через минуту он одним скачком выпрыгнул из постели, вероятно попав наконец в ту идею, около которой вертелись до сих пор рассеянные, не приведенные в надлежащий порядок

147

мысли его. Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоящему на комодe. Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливала на себе решительно ничьего исключительного внимания, но, по-видимому, обладатель ее остался совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале. "Вот бы штука была, -- сказал господин Голядкин вполголоса, -- вот бы штука была, если б я сегодня манкировал в чем-нибудь, если б вышло, например, что-нибудь не так, -- прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний или произошла бы другая какая-нибудь неприятность; впрочем, покамест недурно; покамест всё идет хорошо". Очень обрадовавшись тому, что всё идет хорошо, господин Голядкин поставил зеркало на прежнее место, а сам, несмотря на то что был босиком и сохранял на себе тот костюм, в котором имел обыкновение отходить ко сну, подбежал к окошку и с большим участием начал что-то отыскивать глазами на дворе дома, на который выходили окна квартиры его. По-видимому, и то, что он отыскал на дворе, совершенно его удовлетворило; лицо его просияло самодовольной улыбкою. Потом, -- заглянув, впрочем, сначала за перегородку в каморку Петрушки, своего камердинера, и уверившись, что в ней нет Петрушки, -- на цыпочках подошел к столу, отпер в нем один ящик, пошарил в самом заднем уголку этого ящика, вынул наконец из-под старых пожелтевших бумаг и кой-какой дряни зеленый истертый бумажник, открыл его осторожно -- и бережно и с наслаждением заглянул в самый дальний, потаенный карман его. Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Голядкина: с просиявшим лицом положил он перед собою на стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. Наконец он вынул ее, свою утешительную пачку государственных ассигнаций, и, в сотый раз, впрочем, считая со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая каждый листок между большим и указательными пальцами. "Семьсот пятьдесят рублей ассигнациями! -- окончил он наконец полупшепотом. -- Семьсот пятьдесят рублей... знатная сумма! Это приятная сумма, -- продолжал он дрожащим, немного расслабленным от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и

148

улыбаясь значительно, -- это весьма приятная сумма! Хоть кому приятная сумма! Желал бы я видеть теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожною суммою? Такая сумма может далеко повести человека..."

"Однако что же это такое? -- подумал господин Голядкин, -- да где же Петрушка?" Всё еще сохраняя тот же костюм, заглянул он другой раз за перегородку. Петрушки опять не нашлось за перегородкой, а сердился, горячился и выходил из себя лишь один поставленный там на полу самовар, непрерывно угрожая сбежать, и что-то с жаром, быстро болтал на своем мудреном языке, картавя и шепелявя господину Голядкину, -- вероятно, то, что, дескать, возьмите же меня, добрые люди, ведь я совершенно поспел и готов.

"Черти бы взяли! -- подумал господин Голядкин. -- Эта ленивая бестия может, наконец, вывести человека из последних границ; где он шатается?" В справедливом негодовании вошел он в переднюю, состоявшую из маленького коридора, в конце которого находилась дверь в сени, крошечку приотворил эту дверь и увидел своего служителя, окруженного порядочной кучкой всякого лакейского, домашнего и случайного сброда. Петрушка что-то

рассказывал, прочие слушали. По-видимому, ни тема разговора, ни самый разговор не понравились господину Голядкину. Он немедленно кликнул Петрушку и возвратился в комнату совсем недовольный, даже расстроенный. "Эта бестия ни за грош готова продать человека, а тем более барина, -- подумал он про себя, -- и продал, непременно продал, пари готов держать, что ни за копейку продал. Ну, что?.."

-- Ливрею принесли, сударь.

-- Надень и пошел сюда.

Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина. Костюмирован он был странно донельзя. На нем была зеленая, сильно подержанная лакейская ливрея, с золотыми обсыпавшимися галунами и, по-видимому, шитая на человека ростом на целый аршин выше Петрушки. В руках он держал шляпу, тоже с галунами и с зелеными перьями, а при бедре имел лакейский меч в кожаных ножнах.

Наконец, для полноты картины, Петрушка, следуя любимому своему обыкновению ходить всегда в неглиже, по-домашнему, был и теперь босиком. Господин Голядкин осмотрел Петрушку кругом и, по-видимому, остался доволен. Ливрея, очевидно, была взята напрокат для какого-то

149

торжественного случая. Заметно было еще, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то странным ожиданием на барина и с необыкновенным любопытством следил за всяким движением его, что крайне смущало господина Голядкина.

-- Ну, а карета?

-- И карета приехала.

-- На весь день?

-- На весь день. Двадцать пять, ассигнацией.

-- И сапоги принесли?

-- И сапоги принесли.

-- Болван! не можешь сказать принесли-с. Давай их сюда.

Изыявив свое удовольствие, что сапоги пришлись хорошо, господин Голядкин спросил чаю, умываться и бриться. Обрился он весьма тщательно и таким же образом вымылся, хлебнул чаю наскоро и приступил к своему главному, окончательному облачению: надел панталоны почти совершенно новые; потом манишку с бронзовыми пуговками, жилетку с весьма яркими и приятными цветочками; на шею повязал пестрый шелковый галстук и, наконец, натянул вицмундир, тоже новехонький и тщательно вычищенный. Одеваясь, он несколько раз с любовью взглядывал на свои сапоги, поминутно приподымал то ту, то другую ногу, любовался фасоном и что-то всё шептал себе под нос, изредка подмигивая своей думке выразительною гримаскою. Впрочем, в это утро господин Голядкин был крайне рассеян, потому что почти не заметил улыбочек и гримас на свой счет помогавшего ему одеваться Петрушки. Наконец справив всё, что следовало, совершенно одевшись, господин Голядкин положил в карман свой бумажник, полюбовался окончательно на Петрушку, надевшего сапоги и бывшего, таким образом, тоже в совершенной готовности, и, заметив, что всё уже сделано и ждать уже более нечего, торопливо, суетливо, с маленьким трепетанием сердца сбежал с своей лестницы. Голубая извозничья карета, с какими-то гербами, с громом подкатилась к крыльцу. Петрушка, перемигиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего барина в карету; непривычным голосом и едва сдерживая дурацкий смех, крикнул: "Пошел!", вскочил на запятки, и всё это, с шумом и громом, звеня и треща, покатилося на Невский проспект. Только что голубой экипаж успел выехать за ворота, как господин Голядкин судорожно потер себе руки и залился тихим, неслышным смехом,

150

как человек веселого характера, которому удалось сыграть славную штуку и которой штуке он сам рад-радехонек. Впрочем, тотчас же после припадка веселости смех сменился каким-то странным озабоченным выражением в лице господина Голядкина. Несмотря на

то, что время было сырое и пасмурное, он опустил оба окна кареты и заботливо начал высматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая приличный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит. На повороте с Литейной на Невский проспект он вздрогнул от одного самого неприятного ощущения и, сморщась, как бедняга, которому наступили нечаянно на мозоль, торопливо, даже со страхом прижался в самый темный уголок своего экипажа. Дело в том, что он встретил двух сослуживцев своих, двух молодых чиновников того ведомства, в котором сам состоял на службе. Чиновники же, как показалось господину Голядкину, были тоже, с своей стороны, в крайнем недоумении, встретив таким образом своего сотоварища; даже один из них указал пальцем на господина Голядкина. Господину Голядкину показалось даже, что другой кликнул его громко по имени, что, разумеется, было весьма неприлично на улице. Герой наш притаился и не отозвался. "Что за мальчишки! -- начал он рассуждать сам с собою. -- Ну, что же такого тут странного? Человек в экипаже; человеку нужно быть в экипаже, вот он и взял экипаж. Просто дрянь! Я их знаю, -- просто мальчишки, которых еще нужно посечь! Им бы только в орлянку при жалованье да где-нибудь потаскаться, вот это их дело. Сказал бы им всем кое-что, да уж только..." Господин Голядкин не докончил и обмер. Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая господину Голядкину, запряженных в щегольские дрожки, быстро обгоняла с правой стороны его экипаж. Господин, сидевший на дрожках, нечаянно увидев лицо господина Голядкина, довольно неосторожно высунувшего свою голову из окошка кареты, тоже, по-видимому, крайне был изумлен такой неожиданной встречей и, нагнувшись сколько мог, с величайшим любопытством и участием стал заглядывать в тот угол кареты, куда герой наш поспешил было спрятаться. Господин на дрожках был Андрей Филиппович, начальник отделения в том служебном месте, в котором числился и господин Голядкин в качестве помощника своего столоначальника. Господин Голядкин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно,

151

покраснел до ушей. "Поклониться иль нет? Отозваться иль нет? Признаться иль нет? -- думал в неописанной тоске наш герой, -- или прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожий со мною, и смотреть как ни в чем не бывало? Именно не я, не я, да и только! -- говорил господин Голядкин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем и не сводя с него глаз. -- Я, я ничего, -- шептал он через силу, -- я совсем ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, не я, да и только". Скоро, однако ж, дрожки обогнали карету, и магнетизм начальнических взоров прекратился. Однако он всё еще краснел, улыбался, что-то бормотал про себя... "Дурак я был, что не отозвался, -- подумал он наконец, -- следовало бы просто на смелую ногу и с откровенностью, не лишнюю благородства: дескать, так и так, Андрей Филиппович, тоже приглашен на обед, да и только!" Потом, вдруг вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул как огонь, нахмурил брови и бросил страшный вызывающий взгляд в передний угол кареты, взгляд, так и назначенный с тем, чтоб испепелить разом в прах всех врагов его. Наконец, вдруг, по вдохновению какому-то, дернул он за шнурок, привязанный к локтю извозчика-кучера, остановил карету и приказал повернуть назад, на Литейную. Дело в том, что господину Голядкину немедленно понадобилось, для собственного же спокойствия вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его, Крестьяну Ивановичу. И хотя с Крестьяном Ивановичем был он знаком с весьма недавнего времени, именно посетил его всего один раз на прошлой неделе, вследствие кой-каких надобностей, но ведь доктор, как говорят, что духовник, -- скрываться было бы глупо, а знать пациента -- его же обязанность. "Так ли, впрочем, будет всё это, -- продолжал наш герой, выходя из кареты у подъезда одного пятиэтажного дома на Литейной, возле которого приказал остановить свой экипаж, -- так ли будет всё это? Прилично ли будет? Кстати ли будет? Впрочем, ведь что же, -- продолжал он, подымаясь на лестницу, переводя дух и сдерживая биение сердца, имевшего у него привычку биться на всех чужих лестницах, -- что же? ведь я про свое и

предосудительного здесь ничего не имеется... Скрываться было бы глупо. Я вот таким-то образом и сделаю вид, что я ничего, а что так, мимоездом... Он и увидит, что так тому и следует быть".

Так рассуждая, господин Голядкин поднялся до второго этажа и остановился перед квартирою пятого номера,

152

на дверях которого помещена была красивая медная дощечка с надписью:

Крестьян Иванович Рутеншпиц,

доктор медицины и хирургии.

Остановившись, герой наш поспешил придать своей физиономии приличный, развязный, не без некоторой любезности вид и приготовился дернуть за шнурок колокольчика. Приготовившись дернуть за шнурок колокольчика, он немедленно и довольно кстати рассудил, что не лучше ли завтра и что теперь покамест надобности большой не имеется. Но так как господин Голядкин услышал вдруг на лестнице чьи-то шаги, то немедленно переменил новое решение свое и уже так, заодно, впрочем с самым решительным видом, позвонил у дверей Крестьяна Ивановича.

## Глава II

Доктор медицины и хирургии, Крестьян Иванович Рутеншпиц, весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми седеющими бровями и бакенбардами, выразительным, сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, прогонял все болезни, и, наконец, значительным орденом, сидел в это утро у себя в кабинете, в покойных креслах своих, пил кофе, принесенный ему собственноручно его докторшей, курил сигару и прописывал от времени до времени рецепты своим пациентам. Прописав последний пузырек одному старичку, страдавшему геморроем, и выпроводив страждущего старичка в боковые двери, Крестьян Иванович уселся в ожидании следующего посещения. Вошел господин Голядкин.

По-видимому, Крестьян Иванович нисколько не ожидал, да и не желал видеть пред собою господина Голядкина, потому что он вдруг на мгновение смутился и невольно выразил на лице своем какую-то странную, даже, можно сказать, недовольную мину. Так как, с своей стороны, господин Голядкин почти всегда как-то некстати опадал и терялся в те мгновения, в которые случалось ему абординировать кого-нибудь ради собственных делишек своих, то и теперь, не приготовив первой фразы, бывшей для него в таких случаях настоящим камнем преткновения, сконфузился препорядочно, что-то пробормотал, -- впрочем,

153

кажется, извинение, -- и, не зная, что далее делать, взял стул и сел. Но, вспомнив, что уселся без приглашения, тотчас же почувствовал свое неприличие и поспешил поправить ошибку свою в незнании света и хорошего тона, немедленно встав с занятого им без приглашения места. Потом, опомнившись и смутно заметив, что сделал две глупости разом, решился, нимало не медля, на третью, то есть попробовал было принести оправдание, пробормотал кое-что, улыбаясь, покраснел, сконфузился, выразительно замолчал и наконец сел окончательно и уже не вставал более, а так только, на всякий случай, обеспечил себя тем же самым вызывающим взглядом, который имел необычайную силу мысленно испепелять и разгромлять в прах всех врагов господина Голядкина. Сверх того, этот взгляд вполне выражал независимость господина Голядкина, то есть говорил

ясно, что господин Голядкин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, и что его изба во всяком случае с краю. Крестьян Иванович кашлянул, крикнул, по-видимому в знак одобрения и согласия своего на всё это, и устремил инспекторский, вопросительный взгляд на господина Голядкина.

-- Я, Крестьян Иванович, -- начал господин Голядкин с улыбкою, -- пришел вас беспокоить вторично и теперь вторично осмеливаюсь просить вашего снисхождения... -- Господин Голядкин, очевидно, затруднялся в словах.

-- Гм... да! -- проговорил Крестьян Иванович, выпустив изо рта струю дыма и кладя сигару на стол, -- но вам нужно предписаний держаться; я ведь вам объяснял, что пользование ваше должно состоять в изменении привычек... Ну, развлечения; ну, там, друзей и знакомых должно посещать, а вместе с тем и бутылки врагом не бывать; равномерно держаться веселой компании.

Господин Голядкин, всё еще улыбаясь, поспешил заметить, что ему кажется, что он, как и все, что он у себя, что развлечения у него, как и у всех... что он, конечно, может ездить в театр, ибо тоже, как и все, средства имеет, что днем он в должности, а вечером у себя, что он совсем ничего; даже заметил тут же мимоходом, что он, сколько ему кажется, не хуже других, что он живет дома, у себя на квартире, и что, наконец, у него есть Петрушка. Тут господин Голядкин запнулся.

-- Гм, нет, такой порядок не то, и я вас совсем не то хотел спрашивать. Я вообще знать интересуюсь, что вы, большой ли любитель веселой компании, пользуетесь ли весело

154

временем... Ну, там, меланхолический или веселый образ жизни теперь продолжаете?

-- Я, Крестьян Иванович...

-- Гм... я говорю, -- перебил доктор, -- что вам нужно коренное преобразование всей вашей жизни иметь и в некотором смысле переломить свой характер. (Крестьян Иванович сильно ударил на слово "переломить" и остановился на минуту с весьма значительным видом.) Не чуждаться жизни веселой; спектакли и клуб посещать и во всяком случае бутылки врагом не бывать. Дома сидеть не годится... вам дома сидеть никак невозможно.

-- Я, Крестьян Иванович, люблю тишину, -- проговорил господин Голядкин, бросая значительный взгляд на Крестьяна Ивановича и, очевидно, ища слов для удачнейшего выражения мысли своей, -- в квартире только я да Петрушка... я хочу сказать: мой человек, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, Крестьян Иванович, что я иду своей дорогой, особой дорогой, Крестьян Иванович. Я себе особо и, сколько мне кажется, ни от кого не завишу. Я, Крестьян Иванович, тоже гулять выхожу.

-- Как?... Да! Ну, нынче гулять не составляет никакой приятности: климат весьма нехороший.

-- Да-с, Крестьян Иванович. Я, Крестьян Иванович, хоть и смирный человек, как я уже вам, кажется, имел честь объяснить, но дорога моя отдельно идет, Крестьян Иванович. Путь жизни широк... Я хочу... я хочу, Крестьян Иванович, сказать этим... Извините меня, Крестьян Иванович, я не мастер красно говорить.

-- Гм... вы говорите...

-- Я говорю, чтоб вы меня извинили, Крестьян Иванович, в том, что я, сколько мне кажется, не мастер красно говорить, -- сказал господин Голядкин полуобожженным тоном, немного сбиваясь и путаясь. -- В этом отношении я, Крестьян Иванович, не так, как другие, -- прибавил он с какою-то особенною улыбкою, -- и много говорить не умею, придавать слогу красоту не учился. Зато я, Крестьян Иванович, действую; зато я действую, Крестьян Иванович!

-- Гм... Как же это... вы действуете? -- отозвался Крестьян Иванович. Затем, на минутку, последовало молчание. Доктор как-то странно и недоверчиво взглянул на господина Голядкина. Господин Голядкин тоже в свою очередь довольно недоверчиво покосился на доктора.

-- Я, Крестьян Иванович, -- стал продолжать господин Голядкин всё в прежнем тоне, немного раздраженный

155

и озадаченный крайним упорством Крестьяна Ивановича, -- я, Крестьян Иванович, люблю спокойствие, а не светский шум. Там у них, я говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, нужно уметь паркетные полы лощить сапогами... (тут господин Голядкин немного пришаркнул по полу ножкой), там это спрашивают-с, и каламбур тоже спрашивают... комплимент раздушенный нужно уметь составлять-с... вот что там спрашивают. А я этому не учился, Крестьян Иванович, -- хитростям этим всем я не учился; некогда было. Я человек простой, незатейливый, и блеска наружного нет во мне. В этом, Крестьян Иванович, я полагаю оружие; я кладу его, говоря в этом смысле. -- Все это господин Голядкин проговорил, разумеется, с таким видом, который ясно давал знать, что герой наш вовсе не жалеет о том, что кладет, в этом смысле оружие и что он хитростям не учился, но что даже совершенно напротив. Крестьян Иванович, слушая его, смотрел вниз с весьма неприятной grimасой в лице и как будто заранее что-то предчувствовал. За тирадою господина Голядкина последовало довольно долгое и значительное молчание.

-- Вы, кажется, немного отвлеклись от предмета, -- сказал наконец Крестьян Иванович вполголоса, -- я, признаюсь вам, не мог вас совершенно понять.

-- Я не мастер красно говорить, Крестьян Иванович; я уже вам имел честь доложить, Крестьян Иванович, что я не мастер красно говорить, -- сказал господин Голядкин, на этот раз резким и решительным тоном.

-- Гм...

-- Крестьян Иванович! -- начал опять господин Голядкин тихим, но многозначным голосом, отчасти в торжественном роде и останавливаясь на каждом пункте. -- Крестьян Иванович! вошедши сюда, я начал извинениями. Теперь повторяю прежнее и опять прошу вашего снисхождения на время. Мне, Крестьян Иванович, от вас скрывать нечего. Человек я маленький, сами вы знаете; но, к счастью моему, не жалею о том, что я маленький человек. Даже напротив, Крестьян Иванович; и, чтоб всё сказать, я даже горжусь тем, что не большой человек, а маленький. Не интригант -- и этим тоже горжусь. Действую не втихомолку, а открыто, без хитростей, и хотя бы мог вредить в свою очередь, и очень бы мог, и даже знаю, над кем и как это сделать, Крестьян Иванович, но не хочу замарать себя и в этом смысле умываю руки. В этом смысле, говорю, я их умываю, Крестьян Иванович! -- Господин Голядкин на

156

мгновение выразительно замолчал; говорил он с кротким одушевлением.

-- Иду я, Крестьян Иванович, -- стал продолжать наш герой, -- прямо, открыто и без окольных путей, потому что их презираю и предоставляю это другим. Не стараюсь унижить тех, которые, может быть, нас с вами почище... то есть, я хочу сказать, нас с ними, Крестьян Иванович, я не хотел сказать с вами. Полуслов не люблю; мизерных двуличностей не жалею; клеветой и сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно. Спрошу я вас только, Крестьян Иванович, как бы стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу своему, -- тому, кого бы вы считали таким? -- заключил господин Голядкин, бросив вызывающий взгляд на Крестьяна Ивановича.

Хотя господин Голядкин проговорил всё это донельзя отчетливо, ясно, с уверенностью, взвешивая слова и рассчитывая на вернейший эффект, но между тем с беспокойством, с большим беспокойством, с крайним беспокойством смотрел теперь на Крестьяна Ивановича. Теперь он обратился весь в зрение и робко, с досадным, тоскливым нетерпением ожидал ответа Крестьяна Ивановича. Но, к изумлению и к совершенному поражению господина Голядкина, Крестьян Иванович что-то пробормотал себе под нос; потом придвинул кресла к столу и довольно сухо, но, впрочем, учтиво объявил ему что-то вроде того, что ему время дорого, что он как-то не совсем понимает; что, впрочем, он, чем

может, готов служить, по силам, но что всё дальнейшее и до него не касающееся он оставляет. Тут он взял перо, придвинул бумагу, выкроил из нее докторской формы лоскутик и объявил, что тотчас пропишет что следует.

-- Нет-с, не следует, Крестьян Иванович! нет-с, это вовсе не следует! -- проговорил господин Голядкин, привстав с места и хватая Крестьяна Ивановича за правую руку, -- этого, Крестьян Иванович, здесь вовсе не надобно...

А между тем, покамест говорил это всё господин Голядкин, в нем произошла какая-то странная перемена. Серые глаза его как-то странно блеснули, губы его задрожали, все мускулы, все черты лица его заходили, задвигались. Сам он весь дрожал. Последовав первому движению своему и остановив руку Крестьяна Ивановича, господин Голядкин стоял теперь неподвижно, как будто сам не

157

доверяя себе и ожидая вдохновения для дальнейших поступков.

Тогда произошла довольно странная сцена. Немного озадаченный, Крестьян Иванович на мгновение будто прирос к своему креслу и, потерявшись, смотрел во все глаза господину Голядкину, который таким же образом смотрел на него. Наконец Крестьян Иванович встал, придерживаясь немного за лацкан вицмундира господина Голядкина. Несколько секунд стояли они таким образом оба, неподвижно и не сводя глаз друг с друга. Тогда, впрочем необыкновенно странным образом, разрешилось и второе движение господина Голядкина. Губы его затряслись, подбородок запрыгал, и герой наш заплакал совсем неожиданно. Всхлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь правой рукою, а левой схватив тоже за лацкан домашней одежды Крестьяна Ивановича, хотел было он говорить и в чем-то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать. Наконец Крестьян Иванович опомнился от своего изумления.

-- Полноте, успокойтесь, садитесь! -- проговорил он наконец, стараясь посадить господина Голядкина в кресла.

-- У меня есть враги, Крестьян Иванович, у меня есть враги; у меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись... -- отвечал господин Голядкин боязливо и шепотом.

-- Полноте, полноте; что враги! не нужно врагов поминать! это совершенно не нужно. Садитесь, садитесь, -- продолжал Крестьян Иванович, усаживая господина Голядкина окончательно в кресла.

Господин Голядкин уселся наконец, не сводя глаз с Крестьяна Ивановича. Крестьян Иванович с крайне недовольным видом стал шагать из угла в угол своего кабинета. Последовало долгое молчание.

-- Я вам благодарен, Крестьян Иванович, весьма благодарен и весьма чувствую всё, что вы для меня теперь сделали. По гроб не забуду я ласки вашей, Крестьян Иванович, -- сказал наконец господин Голядкин, с обиженным видом вставая со стула.

-- Полноте, полноте! я вам говорю, полноте! -- отвечал довольно строго Крестьян Иванович на выходку господина Голядкина, еще раз усаживая его на место. -- Ну, что у вас? расскажите мне, что у вас есть там теперь неприятного, -- продолжал Крестьян Иванович, -- и о каких врагах говорите вы? Что у вас есть там такое?

158

-- Нет, Крестьян Иванович, мы лучше это оставим теперь, -- отвечал господин Голядкин, опустив глаза в землю, -- лучше отложим всё это в сторону, до времени... до другого времени, Крестьян Иванович, до более удобного времени, когда всё обнаружится, и маска спадет с некоторых лиц, и кое-что обнажится. А теперь покамест, разумеется после того, что с нами случилось... вы согласитесь сами, Крестьян Иванович... Позвольте пожелать вам доброго утра, Крестьян Иванович, -- сказал господин Голядкин, в этот раз решительно и серьезно вставая с места и хватаясь за шляпу.

-- А, ну... как хотите... гм... (Последовало минутное молчание.) Я, с моей стороны, вы знаете, что могу... и искренно вам добра желаю.

-- Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю; я вас совершенно понимаю теперь... Во всяком случае, извините меня, что я вас обеспокоил, Крестьян Иванович.

-- Гм... Нет, я вам не то хотел говорить. Впрочем, как угодно. Медикаменты по-прежнему продолжайте...

-- Буду продолжать медикаменты, как вы говорите, Крестьян Иванович, буду продолжать и в той же аптеке брать буду... Нынче и аптекарем быть, Крестьян Иванович, уже важное дело...

-- Как? в каком смысле вы хотите сказать?

-- В весьма обыкновенном смысле, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, что нынче так свет пошел...

-- Гм...

-- И что всякий мальчишка, не только аптекарский, перед порядочным человеком нос задирает теперь.

-- Гм... Как же вы это понимаете?

-- Я говорю, Крестьян Иванович, про известного человека... про общего нам знакомого, Крестьян Иванович, например хоть про Владимира Семеновича...

-- А!..

-- Да, Крестьян Иванович; и я знаю некоторых людей, Крестьян Иванович, которые не слишком-то держатся общего мнения, чтоб иногда правду сказать.

-- А!.. Как же это?

-- Да уж так-с; это, впрочем, постороннее дело; умеют этак иногда поднести коку с соком.

-- Что? что поднести?

-- Коку с соком, Крестьян Иванович; это пословица русская. Умеют иногда кстати поздравить кого-нибудь, например; есть такие люди, Крестьян Иванович.

159

-- Поздравить?

-- Да-с, поздравить, Крестьян Иванович, как сделал на днях один из моих коротких знакомых...

-- Один из ваших коротких знакомых... а! как же это? -- сказал Крестьян Иванович, внимательно взглянув на господина Голядкина.

-- Да-с, один из моих близких знакомых поздравил с чином, с получением асессорского чина, другого весьма близкого тоже знакомого, и вдобавок приятеля, как говорится, сладчайшего друга. Этак к слову пришлось. "Чувствительно, дескать, говорит, рад случаю принести вам, Владимир Семенович, мое поздравление, искреннее мое поздравление в получении чина. И тем более рад, что нынче, как всему свету известно, вывелись бабушки, которые ворожат". -- Тут господин Голядкин плутовски кивнул головой и, прищурясь, посмотрел на Крестьяна Ивановича...

-- Гм... Так это сказал...

-- Сказал, Крестьян Иванович, сказал, да тут же и взглянул на Андрея Филипповича, на дядю-то нашего нещечка, Владимира Семеновича. Да что мне, Крестьян Иванович, что он асессором сделан? Мне-то что тут? Да жениться хочет, когда еще молоко, с позволения сказать, на губах не обсохло. Так-таки и сказал. Дескать, говорю, Владимир Семенович! Я теперь всё сказал; позвольте же мне удалиться.

-- Гм...

-- Да, Крестьян Иванович, позвольте же мне теперь, говорю, удалиться. Да тут, чтоб уж разом двух воробьев одним камнем убить, -- как срезал молодца-то на бабушках, -- и обращаюсь к Кларе Олсуфьевне (дело-то было третьего дня у Олсуфья Ивановича), -- а она только что романс пропела чувствительный, -- говорю, дескать, "чувствительно пропеть вы романсы изволили, да только слушают-то вас не от чистого сердца". И намекаю тем ясно, понимаете, Крестьян Иванович, намекаю тем ясно, что ищут-то теперь не в ней, а подальше...

-- А! ну что же он?..

-- Лимон съел, Крестьян Иванович, как по пословице говорится.

-- Гм...

-- Да-с, Крестьян Иванович. Тоже и старику самому говорю, -- дескать, Олсуфий Иванович, говорю, я знаю, чем обязан я вам, ценю вполне благодеяния ваши,

160

которыми почти с детских лет моих вы осыпали меня. Но откройте глаза, Олсуфий Иванович, говорю. Посмотрите. Я сам дело начистоту и открыто веду, Олсуфий Иванович.

-- А, вот как!

-- Да, Крестьян Иванович. Оно вот как...

-- Что ж он?

-- Да что он, Крестьян Иванович! мямлит; и того, и сего, и я тебя знаю, и что его превосходительство благодетельный человек -- и пошел, и размазался... Да ведь что ж? от радости, как говорится, покачнулся порядком.

-- А! так вот как теперь!

-- Да, Крестьян Иванович. И все-то мы так, чего! старикашка! в гроб смотрит, дышит на ладан, как говорится, а сплетню бабью заплетут какую-нибудь, так он уж тут слушает; без него невозможно...

-- Сплетню, вы говорите?

-- Да, Крестьян Иванович, заплели они сплетню. Замешал свою руку сюда и наш медведь и племянник его, наше нещечко; связались они с старухами, разумеется, и состряпали дело. Как бы вы думали? Что они выдумали, чтоб убить человека?..

-- Чтоб убить человека?

-- Да, Крестьян Иванович, чтоб убить человека, нравственно убить человека. Распустили они... я всё про моего близкого знакомого говорю...

Крестьян Иванович кивнул головою.

-- Распустили они насчет его слух... Признаюсь вам, мне даже совестно говорить, Крестьян Иванович...

-- Гм...

-- Распустили они слух, что он уже дал подписку жениться, что он уже жених с другой стороны... И как бы вы думали, Крестьян Иванович, на ком?

-- Право?

-- На кухмистерше, на одной неблагопристойной немке, у которой обеда берет; вместо заплаты долгов руку ей предлагает.

-- Это они говорят?

-- Верители, Крестьян Иванович? Немка, подлая, гадкая, бесстыдная немка, Каролина Ивановна, если известно вам...

-- Я, признаюсь, с моей стороны...

-- Понимаю вас. Крестьян Иванович, понимаю и с своей стороны это чувствую...

-- Скажите мне, пожалуйста, где вы живете теперь?

161

-- Где я живу теперь, Крестьян Иванович?

-- Да... я хочу... вы прежде, кажется, жили...

-- Жил, Крестьян Иванович, жил, жил и прежде. Как же не жить! -- отвечал господин Голядкин, сопровождая слова свои маленьким смехом и немного смутив ответом своим Крестьяна Ивановича.

-- Нет, вы не так это приняли; я хотел с своей стороны...

-- Я тоже хотел, Крестьян Иванович, с своей стороны, я тоже хотел, -- смеясь, продолжал господин Голядкин. -- Однако ж я, Крестьян Иванович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, позволите мне теперь... пожелать вам доброго утра...

-- Гм...

-- Да, Крестьян Иванович, я вас понимаю; я вас теперь вполне понимаю, -- сказал наш герой, немного рисуясь перед Крестьяном Ивановичем. -- Итак, позвольте вам пожелать доброго утра...

Тут герой наш шаркнул ножкой и вышел из комнаты, оставив в крайнем изумлении Крестьяна Ивановича. Сходя с докторской лестницы, он улыбался и радостно потирал себе руки. На крыльце, дохнув свежим воздухом и почувствовав себя на свободе, он даже действительно готов был признать себя счастливейшим смертным и потом прямо отправиться в департамент, -- как вдруг у подъезда загремела его карета; он взглянул и всё вспомнил. Петрушка отворял уже дверцы. Какое-то странное и крайне неприятное ощущение охватило всего господина Голядкина. Он как будто бы покраснел на мгновение. Что-то кольнуло его. Он уже стал было заносить свою ногу на подножку кареты, как вдруг обернулся и посмотрел на окна Крестьяна Ивановича. Так и есть! Крестьян Иванович стоял у окна, поглаживал правой рукой свои бакенбарды и довольно любопытно смотрел на героя нашего.

"Этот доктор глуп, -- подумал господин Голядкин, забываясь в карету, -- крайне глуп. Он, может быть, и хорошо своих больных лечит, а все-таки... глуп, как бревно". Господин Голядкин уселся, Петрушка крикнул: "Пошел!" -- и карета покатилась опять на Невский проспект.

162

### Глава III

Всё это утро прошло в страшных хлопотах у господина Голядкина. Попав на Невский проспект, герой наш приказал остановиться у Гостиного двора. Выпрыгнув из своего экипажа, побежал он под аркаду, в сопровождении Петрушки, и пошел прямо в лавку серебряных и золотых изделий. Заметно было уже по одному виду господина Голядкина, что у него хлопот полон рот и дела страшная куча. Сторговав полный обеденный и чайный сервиз с лишком на тысячу пятьсот рублей ассигнациями и выторговав себе в эту же сумму затейливой формы сигарочницу и полный серебряный прибор для бритья бороды, приценившись, наконец, еще к кое-каким в своем роде полезным и приятным вещицам, господин Голядкин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегодня прислать за сторгованным, взял номер лавки и, выслушав внимательно купца, хлопотававшего о задаточке, обещал в свое время и задаточек. После чего он поспешно распростился с недоумевавшим купцом и пошел вдоль по линии, преследуемый целой стаей сидельцев, поминутно оглядываясь назад на Петрушку и тщательно отыскивая какую-то новую лавку. Мимоходом забежал он в меняльную лавочку и разменял всю свою крупную бумагу на мелкую, и хотя потерял на промене, но зато все-таки разменял, и бумажник его значительно потолстел, что, по-видимому, доставило ему крайнее удовольствие. Наконец, остановился он в магазине разных дамских материй. Наторговав опять на знатную сумму, господин Голядкин и здесь обещал купцу зайти непременно, взял номер лавки и, на вопрос о задаточке, опять повторил, что будет в свое время и задаточек. Потом посетил и еще несколько лавок; во всех торговал, приценился к разным вещицам, спорил иногда долго с купцами, уходил из лавки и раза по три возвращался, -- одним словом, оказывал необыкновенную деятельность. Из Гостиного двора герой наш отправился в один известный мебельный магазин, где сторговал мебели на шесть комнат, полюбовался одним модным и весьма затейливым дамским туалетом в последнем вкусе и, уверив купца, что пришлет за всем непременно, вышел из магазина, по своему обычаю, с обещанием задаточка, потом заехал еще кое-куда и поторговал кое-что. Одним словом, не было, по-видимому, конца его хлопотам. Наконец всё это, кажется, сильно стало надоедать самому господину Голядкину.

163

Даже, и бог знает по какому случаю, стали его терзать ни с того ни с сего угрызения совести. Ни за что бы не согласился он теперь встретиться, например, с Андреем Филипповичем или хоть с Крестьяном Ивановичем. Наконец городские часы пробили три пополудни. Когда господин Голядкин сел окончательно в карету, из всех приобретений, сделанных им в это утро, оказалась в действительности лишь одна пара перчаток и стеклянка духов в полтора рубля ассигнациями. Так как для господина Голядкина было еще довольно рано, то он и приказал своему кучеру остановиться возле одного известного ресторана на Невском проспекте, о котором доселе он знал лишь понаслышке, вышел из кареты и побежал закусить, отдохнуть и выждать известное время.

Закусив так, как закусывает человек, у которого в перспективе богатый званый обед, то есть перехватив кое-что, чтобы, как говорится, червячка заморить, и выпив одну рюмочку водки, господин Голядкин уселся в креслах и, скромно осмотревшись кругом, мирно пристроился к одной тощей национальной газетке. Прочтя строчки две, он встал, посмотрелся в зеркало, оправился и огладился; потом подошел к окну и поглядел, тут ли его карета... потом опять сел на место и взял газету. Заметно было, что герой наш был в крайнем волнении. Взглянув на часы и видя, что еще только четверть четвертого, следовательно, еще остается порядочно ждать, а вместе с тем и рассудив, что так сидеть неприлично, господин Голядкин приказал подать себе шоколаду, к которому, впрочем, в настоящее время большой охоты не чувствовал. Выпив шоколад и заметив, что время немного подвинулось, вышел он расплатиться. Вдруг кто-то ударил его по плечу.

Он обернулся и увидел пред собою двух своих сослуживцев-товарищей, тех самых, с которыми встретился утром на Литейной, -- ребят еще весьма молодых и по летам и по чину. Герой наш был с ними ни то ни се, ни в дружбе, ни в открытой вражде. Разумеется, соблюдалось приличие с обеих сторон; дальнейшего же сближения не было, да и быть не могло. Встреча в настоящее время была крайне неприятна господину Голядкину. Он немного поморщился и на минутку смешался.

-- Яков Петрович, Яков Петрович! -- защебетали оба регистратора, -- вы здесь? по какому...

-- А! это вы, господа! -- перебил поспешно господин

164

Голядкин, немного сконфузясь и скандализируясь изумлением чиновников и вместе с тем короткостию их обращения, но, впрочем, делая развязного и молодца поневоле. -- Дезертировали, господа, хе-хе-хе!.. -- Тут даже, чтоб не уронить себя и снизить до канцелярского юношества, с которым всегда был в должных границах, он попробовал было потрепать одного юношу по плечу; но популярность в этом случае не удалась господину Голядкину, и, вместо прилично-короткого жеста, вышло что-то совершенно другое.

-- Ну, а что, медведь наш сидит?..

-- Кто это, Яков Петрович?

-- Ну, медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут?.. -- Господин Голядкин засмеялся и отвернулся к приказчику взять с него сдачу. -- Я говорю про Андрея Филипповича, господа, -- продолжал он, кончив с приказчиком и на этот раз с весьма серьезным видом обратившись к чиновникам. Оба регистратора значительно перемигнулись друг с другом.

-- Сидит еще и вас спрашивал, Яков Петрович, -- отвечал один из них.

-- Сидит, а! В таком случае пусть его сидит, господа. И меня спрашивал, а?

-- Спрашивал, Яков Петрович; да что это с вами, раздушены, распомажены, франтом таким?..

-- Так, господа, это так! Полноте... -- отвечал господин Голядкин, смотря в сторону и напряженно улыбнувшись. Видя, что господин Голядкин улыбается, чиновники расхохотались. Господин Голядкин немного надулся.

-- Я вам скажу, господа, по-дружески, -- сказал, немного помолчав, наш герой, как будто (так уж и быть) решившись открыть что-то чиновникам, -- вы, господа, все меня знаете, но до сих пор знали только с одной стороны. Пенять в этом случае не на кого, и отчасти, сознаюсь, я был сам виноват.

Господин Голядкин сжал губы и значительно взглянул на чиновников. Чиновники снова перемигнулись.

-- До сих пор, господа, вы меня не знали. Объясняться теперь и здесь будет не совсем-то кстати. Скажу вам только кое-что мимоходом и вскользь. Есть люди, господа, которые не любят окольных путей и маскируются только для маскарада. Есть люди, которые не видят прямого человеческого назначения в ловком умении лощить паркет сапогами. Есть и такие люди, господа, которые не будут

165

говорить, что счастливы и живут вполне, когда, например, на них хорошо сидят панталоны. Есть, наконец, люди, которые не любят скакать и вертеться по-пустому, заигрывать и подлизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где его вовсе не спрашивают... Я, господа, сказал почти всё; позвольте ж мне теперь удалиться...

Господин Голядкин остановился. Так как господа регистраторы были теперь удовлетворены вполне, то вдруг оба крайне неучтиво покатались со смеха. Господин Голядкин вспыхнул.

-- Смейтесь, господа, смейтесь покамест! Поживете -- увидите, -- сказал он с чувством оскорбленного достоинства, взяв свою шляпу и ретируясь к дверям.

-- Но скажу более, господа, -- прибавил он, обращаясь в последний раз к господам регистраторам, -- скажу более -- оба вы здесь со мной глаз на глаз. Вот, господа, мои правила: не удастся -- креплюсь, удастся -- держусь и во всяком случае никого не подкапываю. Не интригант -- и этим горжусь. В дипломаты бы я не годился. Говорят еще, господа, что птица сама летит на охотника. Правда, и готов согласиться: но кто здесь охотник, кто птица? Это еще вопрос, господа!

Господин Голядкин красноречиво умолк и с самой значительной миной, то есть подняв брови и сжав губы донельзя, раскланялся с господами чиновниками и потом вышел, оставя их в крайнем изумлении.

-- Куда прикажете? -- спросил довольно сурово Петрушка, которому уже наскучило, вероятно, таскаться по холоду. -- Куда прикажете? -- спросил он господина Голядкина, встречая его страшный, всеуничтожающий взгляд, которым герой наш уже два раза обеспечивал себя в это утро и к которому прибегнул теперь в третий раз, сходя с лестницы.

-- К Измайловскому мосту.

-- К Измайловскому мосту! Пошел!

"Обед у них начнется не раньше как в пятом или даже в пять часов, --думал господин Голядкин, --не рано ль теперь? Впрочем, ведь я могу и пораньше; да к тому же и семейный обед. Я этак могу сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. Отчего же бы мне нельзя сан-фасон? Медведь наш тоже говорил, что будет всё сан-фасон, а потому и я тоже..." Так думал господин Голядкин; а между тем волнение его всё более и более увеличивалось. Заметно было, что он готовился к чему-то весьма

166

хлопотливому, чтоб не сказать более, шептал про себя, жестикулировал правой рукой, непрерывно поглядывал в окна кареты, так что, смотря теперь на господина Голядкина, право бы никто не сказал, что он собирается хорошо пообедать, запросто, да еще в своем семейном кругу, -- сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. Наконец у самого Измайловского моста господин Голядкин указал на один дом; карета с громом вкатилась в ворота и остановилась у подъезда правого фаса. Заметив одну женскую фигуру в окне второго этажа, господин Голядкин послал ей рукой поцелуй. Впрочем, он не знал сам, что делает, потому что решительно был ни жив ни мертв в эту минуту. Из кареты

он вышел бледный, растерянный; взошел на крыльцо, снял свою шляпу, машинально оправился и, чувствуя, впрочем, маленькую дрожь в коленках, пустился по лестнице.

-- Олсуфий Иванович? -- спросил он отворившего ему человека.

-- Дома-с, то есть нет-с, их нет дома-с.

-- Как? что ты, мой милый? Я -- я на обед, братец. Ведь ты меня знаешь?

-- Как не знать-с! Принимать вас не велено-с.

-- Ты... ты, братец... ты, верно, ошибаешься, братец. Это я. Я, братец, приглашен; я на обед, -- проговорил господин Голядкин, сбрасывая шинель и показывая очевидное намерение отправиться в комнаты.

-- Позвольте-с, нельзя-с. Не велено принимать-с, вам отказывать велено. Вот как!

Господин Голядкин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась и вошел Герасимыч, старый камердинер Олсуфия Ивановича.

-- Вот они, Емельян Герасимович, войти хотят, а я...

-- А вы дурак, Алексеич. Ступайте в комнаты, а сюда пришлите подлеца Семеныча. Нельзя-с, -- сказал он учтиво, но решительно обращаясь к господину Голядкину. -- Никак невозможно-с. Просят извинить-с; не могут при-нять-с.

-- Они так и сказали, что не могут принять? -- нерешительно спросил господин Голядкин. -- Вы извините, Герасимыч. Отчего же никак невозможно?

-- Никак невозможно-с. Я докладывал-с; сказали: проси извинить. Не могут, дескать, принять-с.

-- Отчего же? как же это? как...

-- Позвольте, позвольте!..

-- Однако как же это так? Так нельзя! Доложите... Как же это так? я на обед...

-- Позвольте, позвольте!..

167

-- А, ну, впрочем, это дело другое -- извинить просят; однако ж позвольте, Герасимыч, как же это, Герасимыч?

-- Позвольте, позвольте! -- возразил Герасимыч, весьма решительно отстраняя рукой господина Голядкина и давая широкую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили в прихожую. Входившие господа были: Андрей Филиппович и племянник его, Владимир Семенович. Оба они с недоумением посмотрели на господина Голядкина. Андрей Филиппович хотел было что-то заговорить, но господин Голядкин уже решил; он уже выходил из прихожей Олсуфия Ивановича, опустив глаза, покраснев, улыбаясь, с совершенно потерянной физиономией.

-- Я найду после, Герасимыч; я объяснюсь; я надеюсь, что всё это не замедлит своевременно объясниться, -- проговорил он на пороге и отчасти на лестнице.

-- Яков Петрович, Яков Петрович!.. -- послышался голос последовавшего за господином Голядкиным Андрея Филипповича.

Господин Голядкин находился тогда уже на первой забежной площадке. Он быстро оборотился к Андрею Филипповичу.

-- Что вам угодно, Андрей Филиппович? -- сказал он довольно решительным тоном.

-- Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом?..

-- Ничего-с, Андрей Филиппович. Я здесь сам по себе. Это моя частная жизнь, Андрей Филиппович.

-- Что такое-с?

-- Я говорю, Андрей Филиппович, что это моя частная жизнь и что здесь, сколько мне кажется, ничего нельзя найти предосудительного касательно официальных отношений моих.

-- Как! касательно официальных... Что с вами, сударь, такое?

-- Ничего, Андрей Филиппович, совершенно ничего; дерзкая девчонка, больше ничего...

-- Что!.. что?! -- Андрей Филиппович потерялся от изумления. Господин Голядкин, который доселе, разговаривая с низу лестницы с Андреем Филипповичем, смотрел так,

что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза, -- видя, что начальник отделения немного смешался, сделал, почти неведомо себе, шаг вперед. Андрей

168

Филиппович подался назад. Господин Голядкин переступил еще и еще ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно осмотрелся кругом. Господин Голядкин вдруг быстро поднялся на лестницу. Еще быстрее прыгнул Андрей Филиппович в комнату и захлопнул дверь за собою. Господин Голядкин остался один. В глазах у него потемнело. Он сбился совсем и стоял теперь в каком-то бестолковом раздумье, как будто припоминая о каком-то тоже крайне бестолковом обстоятельстве, весьма недавно случившемся. "Эх, эх!" -- прошептал он, улыбаясь с натуги. Между тем на лестнице, внизу, послышались голоса и шаги, вероятно новых гостей, приглашенных Олсуфьем Ивановичем. Господин Голядкин отчасти опомнился, поскорее поднял повыше свой еотовый воротник, прикрылся им по возможности -- и стал, ковыляя, семеня, торопясь и спотыкаясь, сходить с лестницы. Чувствовал он в себе какое-то ослабление и онемение. Смущение его было в такой сильной степени, что, вышед на крыльцо, он не дождался кареты, а сам пошел прямо через грязный двор до своего экипажа. Подойдя к своему экипажу и приготовляясь в нем поместиться, господин Голядкин мысленно обнаружил желание провалиться сквозь землю или спрятаться хоть в мышиную щелочку вместе с каретой. Ему казалось, что всё, что ни есть в доме Олсуфия Ивановича, вот так и смотрит теперь на него из всех окон. Он знал, что непременно тут же на месте умрет, если обернется назад.

-- Что ты смеешься, болван? -- сказал он скороговоркой Петрушке, который приготовился было его посадить в карету.

-- Да что мне смеяться-то? я ничего; куда теперь ехать?

-- Ступай домой, поезжай...

-- Пошел домой! -- крикнул Петрушка, взмогая на запятки.

"Экое горло воронье!" -- подумал господин Голядкин. Между тем карета уже довольно далеко отъехала за Измайловский мост. Вдруг герой наш из всей силы дернул шнурок и закричал своему кучеру немедленно воротиться назад. Кучер поворотил лошадей и через две минуты въехал опять во двор к Олсуфию Ивановичу. "Не нужно, дурак, не нужно; назад!" -- "прокричал господин Голядкин, -- и кучер словно ожидал такого приказания: не возражая ни на что, не останавливаясь у подъезда и объехав кругом весь двор, выехал снова на улицу.

169

Домой господин Голядкин не поехал, а, миновав Семеновский мост, приказал поворотить в один переулочек и остановиться возле трактира довольно скромной наружности. Вышед из кареты, герой наш расплатился с извозчиком и, таким образом, избавился наконец от своего экипажа, Петрушке приказал идти домой и ждать его возвращения, сам же вошел в трактир, взял особенный номер и приказал подать себе пообедать. Чувствовал он себя весьма дурно, а голову свою в полнейшем разброде и в хаосе. Долго ходил он в волнении по комнате; наконец сел на стул, подпер себе лоб руками и начал всеми силами стараться обсудить и разрешить кое-что относительно настоящего своего положения...

#### Глава IV

День, торжественный день рождения Клары Олсуфьевны, единородной дочери статского советника Берендеева, в оно время благодетеля господина Голядкина, -- день, ознаменовавшийся блистательным, великолепным званым обедом, таким обедом, какого давно не видали в стенах чиновничьих квартир у Измайловского моста и около, -- обедом, который походил более на какой-то пир вальтасаровский, чем на обед, -- который отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия, с шампанским-

клик, с устрицами и плодами Елисеева и Милютиных лавок, со всякими упитанными тельцами и чиновною табелью о рангах, -- этот торжественный день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом, заключился блистательным балом, семейным, маленьким, родственным балом, но все-таки блистательным в отношении вкуса, образованности и приличия. Конечно, я совершенно согласен, такие балы бывают, но редко. Такие балы, более похожие на семейные радости, чем на балы, могут лишь даваться в таких домах, как например дом статского советника Берендеева. Скажу более: я даже сомневаюсь, чтоб у всех статских советников могли даваться такие балы. О, если бы я был поэт! -- разумеется, по крайней мере такой, как Гомер или Пушкин; с меньшим талантом соваться нельзя -- я бы непременно изобразил вам яркими красками и широкою кистью, о читатели! весь этот высокоторжественный день. Нет, я бы начал свою поэму обедом, я особенно бы налег на то поразительное и вместе с тем торжественное мгновение, когда поднялась первая

170

здравная чаша в честь царицы праздника. Я изобразил бы вам, во-первых, этих гостей, погруженных в благоговейное молчание и ожидание, более похожее на демосфеновское красноречие, чем на молчание. Я изобразил бы вам потом Андрея Филипповича, как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными седине орденами, вставшего с места и поднявшего над головою здравный бокал с искрометным вином, -- вином, нарочно привозимым из одного отдаленного королевства, чтоб запивать им подобные мгновения, -- вином, более похожим на божественный нектар, чем на вино-- Я изобразил бы вам гостей и счастливых родителей царицы праздника, поднявших тоже свои бокалы вслед за Андреем Филипповичем и устремивших на него полные ожидания очи. Я изобразил бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздравление и пожелание, провозгласил тост и выпил за здравие... Но, сознаюсь, вполне сознаюсь, не мог бы я изобразить всего торжества той минуты, когда сама царица праздника, Клара Олсуфьевна, краснея, как вешняя роза, румянцем блаженства и стыдливости, от полноты чувств упала в объятия нежной матери, как прослезилась нежная мать и как зарыдал при сем случае сам отец, маститый старец и статский советник Олсуфий Иванович, лишившийся употребления ног на долговременной службе и вознагражденный судьбою за таковое усердие капиталцем, домком, деревеньками и красавицей дочерью, -- зарыдал как ребенок и провозгласил сквозь слезы, что его превосходительство благодетельный человек. Я бы не мог, да, именно не мог бы изобразить вам и неукоснительно последовавшего за сей минутой всеобщего увлечения сердец, -- увлечения, ясно выразившегося даже поведением одного юного регистратора (который в это мгновение походил более на статского советника, чем на регистратора), тоже прослезившегося, внимая Андрею Филипповичу. В свою очередь Андрей Филиппович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте, -- нет, он казался чем-то другим... я не знаю только, чем именно, но не коллежским советником. Он был выше! Наконец... о! для чего я не обладаю тайною слога высокого, сильного, слога торжественного, для изображения всех этих прекрасных и назидательных моментов человеческой жизни, как будто нарочно устроенных для доказательства,

171

как иногда торжествует добродетель над неблагонамеренностью, вольнодумством, пороком и завистью! Я ничего не скажу, но молча -- что будет лучше всякого красноречия -- укажу вам на этого счастливого юношу, вступающего в свою двадцать шестую весну, -- на Владимира Семеновича, племянника Андрея Филипповича, который встал в свою очередь с места, который провозглашает в свою очередь тост и на которого устремлены слезящиеся очи родителей царицы праздника, гордые очи Андрея Филипповича, стыдливые очи самой царицы праздника, восторженные очи гостей и даже прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестящего юноши. Я не скажу

ничего, хотя не могу не заметить, что всё в этом юноше, -- который более похож на старца, чем на юношу, говоря в выгодном для него отношении, -- всё, начиная с цветущих ланит до самого асессорского, на нем лежавшего чина, всё это в сию торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонравие довести человека! Я не буду описывать, как, наконец, Антон Антонович Сеточкин, столоначальник одного департамента, сослуживец Андрея Филипповича и некогда Олсуфия Ивановича, вместе с тем старинный друг дома и крестный отец Клары Олсуфьевны, -- старичок, как лунь седенький, в свою очередь предлагая тост, пропел петухом и проговорил веселые вирши; как он таким приличным забвением приличия, если можно так выразиться, рассмешил до слез целое общество и как сама Клара Олсуфьевна за таковую веселость и любезность поцеловала его, по приказанию родителей. Скажу только, что, наконец, гости, которые после такого обеда, естественно, должны были чувствовать себя друг другу родными и братьями, встали из-за стола; как потом старички и люди солидные, после недолгого времени, употребленного на дружеский разговор и даже на кое-какие, разумеется, весьма приличные и любезные откровенности, чинно прошли в другую комнату и, не теряя золотого времени, разделившись на партии, с чувством собственного достоинства сели за столы, обтянутые зеленым сукном; как дамы, усевшись в гостиной, стали вдруг все необыкновенно любезны и начали разговаривать о разных материях; как, наконец, сам высокоуважаемый хозяин дома, лишившийся употребления ног на службе верою и правдою и награжденный за это всем, чем выше упомянуто было, стал расхаживать на костылях между гостями своими,

172

поддерживаемый Владимиром Семеновичем и Klarой Олсуфьевной, и как, вдруг сделавшись тоже необыкновенно любезным, решился импровизировать маленький скромный бал, несмотря на издержки; как для сей цели командирован был один расторопный юноша (тот самый, который за обедом более похож был на статского советника, чем на юношу) за музыкантами; как потом прибыли музыканты в числе целых одиннадцати штук и как, наконец, ровно в половине девятого раздались призывные звуки французской кадрили и прочих различных танцев... Нечего уже и говорить, что перо мое слабо, вяло и тупо для приличного изображения бала, импровизированного необыкновенною любезностью седовласого хозяина. Да и как, спрошу я, как могу я, скромный повествователь весьма, впрочем, любопытных в своем роде приключений господина Голядкина, -- как могу я изобразить эту необыкновенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, веселости, любезной солидности и солидной любезности, резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам, -- говоря в выгодном для них отношении, -- с их лилейно-розовыми плечами и личиками, с их воздушными станами, с их резво-игривыми, гомеопатическими, говоря высоким слогом, ножками? Как изображу я вам, наконец, этих блестящих чиновных кавалеров, веселых и солидных, юношей и степенных, радостных и прилично-туманных, курящих в антрактах между танцами в маленькой отдаленной зеленой комнате трубку и не курящих в антрактах трубки, -- кавалеров, имевших на себе, от первого до последнего, приличный чин и фамилию, -- кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного и чувством собственного достоинства, -- кавалеров, говорящих большею частью на французском языке с дамами, а если на русском, то выражениями самого высокого тона, комплиментами и глубокими фразами, -- кавалеров, разве только в трубочной позволявших себе некоторые любезные отступления от языка высшего тона, некоторые фразы дружеской и любезной короткости, вроде таких, например: "что, дескать, ты, такой-сякой, Петька, славно польку откалывал", или: "что, дескать, ты, такой-сякой, Вася, пришпандорил-таки свою дамочку, как хотел". На всё это, как уже выше имел я честь объяснить вам, о читатели! недостает пера моего, и потому я молчу. Обратимся лучше к господину Голядкину, единственному, истинному герою весьма правдивой повести нашей.

Дело в том, что он находится теперь в весьма странном, чтоб не сказать более, положении. Он, господа, тоже здесь, то есть не на бале, но почти что на бале; он, господа, ничего; он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой; стоит он теперь -- даже странно сказать -- стоит он теперь в сенях, на черной лестнице квартиры Олсуфия Ивановича. Но это ничего, что он тут стоит; он так себе. Он, господа, стоит в уголку, забившись в местечко хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами, между всяким дрязгом, хламом и рухлядью, скрываясь до времени и покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве постороннего зрителя. Он, господа, только наблюдает теперь: он, господа, тоже ведь может войти... почему же не войти? Стоит только шагнуть, и войдет, и весьма ловко войдет. Сейчас только, -- выстаивая, впрочем, уже третий час на холоде, между шкафом и ширмами, между всяким хламом, дрязгом и рухлядью, -- цитировал он, в собственное оправдание свое, одну фразу блаженной памяти французского министра Виллеля, что "всё, дескать, придет своим чередом, если выждать есть сметка". Фразу эту вычитал господин Голядкин когда-то из совершенно посторонней, впрочем, книжки, но теперь весьма кстати привел ее себе на память. Фраза, во-первых, очень хорошо шла к настоящему его положению, а во-вторых, чего же не придет в голову человеку, выжидающему счастливой развязки обстоятельств своих почти битые три часа в сенях, в темноте и на холоде? Цитируя, как уже сказано было, весьма кстати фразу бывшего французского министра Виллеля, господин Голядкин тут же, неизвестно почему, припомнил и о бывшем турецком визире Марцимирисе, равно как и о прекрасной маркграфине Луизе, историю которых читал он тоже когда-то в книжке. Потом пришло ему на память, что иезуиты поставили даже правилом своим считать все средства годящимися, лишь бы цель могла быть достигнута. Обнадежив себя немного подобным историческим пунктом, господин Голядкин сказал сам себе, что, дескать, что иезуиты? иезуиты все до одного были величайшие дураки, что он сам их всех заткнет за пояс, что вот только бы хоть на минуту опустела буфетная (та комната, которой дверь выходила прямо в сени, на черную лестницу, и где господин Голядкин находился теперь), так он, несмотря на всех иезуитов, возьмет -- да прямо и пройдет, сначала из буфетной в чайную, потом в ту

комнату, где теперь в карты играют, а там прямо в залу, где теперь польку танцуют. И пройдет, непременно пройдет, ни на что не смотря пройдет, проскользнет -- да и только, и никто не заметит; а там уж он сам знает, что ему делать. Вот в таком-то положении, господа, находим мы теперь героя совершенно правдивой истории нашей, хотя, впрочем, трудно объяснить, что именно делалось с ним в настоящее время. Дело-то в том, что он до сеней и до лестницы добраться умел, по той причине, что, дескать, почему ж не добраться, что все добираются; но далее проникнуть не смел, явно этого сделать не смел... не потому, чтоб чего-нибудь не смел, а так, потому что сам не хотел, потому что ему лучше хотелось быть втихомолочку. Вот он, господа, и выжидает теперь тихомолочки, и выжидает ее ровно два часа с половиною. Отчего ж и не выждать? И сам Виллель выжидал. "Да что тут Виллель! -- думал господин Голядкин, -- какой тут Виллель? А вот как бы мне теперь, того... взять да и проникнуть?.. Эх ты, фигурант ты этакой! -- сказал господин Голядкин, ущипнув себя окоченевшею рукою за окоченевшую щеку, -- дурашка ты этакой, Голядка ты этакой, -- фамилия твоя такова!.." Впрочем, это ласкательство собственной особе своей в настоящую минуту было лишь так себе, мимоходом, без всякой видимой цели. Вот было он сунулся и подался вперед; минута настала; буфетная опустела, и в ней нет никого; господин Голядкин видел всё это в окошко; в два шага очутился он у двери и уже стал отворять ее. "Идти или нет? Ну, идти или нет? Пойду... отчего ж не пойти? Смелому дорога везде!" Обнадежив себя таким образом, герой наш вдруг и совсем неожиданно ретировался за ширмы. "Нет, -- думал он, -- а ну как войдет кто-нибудь? Так и есть, вошли; чего ж я зевал, когда народу не было? Этак бы взять да и проникнуть!.. Нет, уж что

проникнуть, когда характер у человека такой! Эка ведь тенденция подлая! Струсил, как курица. Струсить-то наше дело, вот оно что! Нагадить-то всегда наше дело: об этом вы нас и не спрашивайте. Вот и стой здесь, как чурбан, да и только! Дома бы чаю теперь выпить чашечку... Оно бы и приятно этак было выпить бы чашечку. Позже прийти, так Петрушка будет, пожалуй, ворчать. Не пойти ли домой? Черти бы взяли всё это! Иду, да и только!" Разрешив таким образом свое положение, господин Голядкин быстро подался вперед, словно пружину какую кто тронул в нем; с двух шагов очутился в буфетной, сбросил шинель, снял свою

175

шляпу, поспешно сунул это всё в угол, оправился и огладился; потом... потом двинулся в чайную, из чайной юркнул еще в другую комнату, скользнул почти незаметно между вошедшими в азарт игроками; потом... потом... тут господин Голядкин позабыл всё, что вокруг него делается, и прямо, как снег на голову, явился в танцевальную залу.

Как нарочно в это время не танцевали. Дамы гуляли по зале живописными группами. Мужчины сбивались в кружки или шныряли по комнате, ангажируя дам. Господин Голядкин не замечал этого ничего. Видел он только Клару Олсуфьевну; возле нее Андрея Филипповича, потом Владимира Семеновича, да еще двух или трех офицеров, да еще двух или трех молодых людей, тоже весьма интересных, подающих или уже осуществивших, как можно было по первому взгляду судить, кое-какие надежды... Видел он и еще кой-кого. Или нет; он уже никого не видал, ни на кого не глядел... а двигаемый тою же самою пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрощенный, подался вперед, потом и еще вперед, и еще вперед; наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдал ему ногу; кстате уже наступил на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и еще кой-кого и, не заметив всего этого или, лучше сказать, заметив, но уж так, заодно, не глядя ни на кого, пробираясь всё далее и далее вперед, вдруг очутился перед самой Klarой Олсуфьевной. Без всякого сомнения, глазком не мигнув, он с величайшим бы удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю; но что сделано было, того не воротишь... ведь уж никак не воротишь. Что же было делать? Не удастся -- держись, а удастся -- крепись. Господин Голядкин, уж разумеется, был не интригант и лощить паркет сапогами не мастер... Так уж случилось. К тому же и иезуиты как-то тут подмешались... Но не до них, впрочем, было господину Голядкину! Всё, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг, как бы по мановению какому, затихло и малопомалу столпилось около господина Голядкина. Господин Голядкин, впрочем, как бы ничего не слышал, ничего не видал, он не мог смотреть... он ни за что не мог смотреть; он опустил глаза в землю да так и стоял себе, дав себе, впрочем, мимоходом честное слово каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. Дав себе такое честное слово, господин Голядкин мысленно сказал себе: "Была не была!" -- и, к собственному

176

своему величайшему изумлению, совсем неожиданно начал вдруг говорить.

Начал господин Голядкин поздравлениями и приличными пожеланиями. Поздравления прошли хорошо; а на пожеланиях герой наш запнулся. Чувствовал он, что если запнется, то всё сразу к черту пойдет. Так и вышло -- запнулся и завяз... завяз и покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и поднял глаза; поднял глаза и обвел их кругом; обвел их кругом и -- и обмер... Всё стояло, всё молчало, всё выжидало; немного подальше зашептало; немного поближе захохотало. Господин Голядкин бросил покорный, потерянный взор на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович ответил господину Голядкину таким взглядом, что если б герой наш не был уже убит вполне, совершенно, то был бы непременно убит в другой раз, -- если б это было только возможно. Молчание длилось.

-- Это более относится к домашним обстоятельствам и к частной жизни моей, Андрей Филиппович, -- едва слышным голосом проговорил полумертвый господин Голядкин, -- это не официальное приключение, Андрей Филиппович...

-- Стыдитесь, сударь, стыдитесь! -- проговорил Андрей Филиппович полушепотом, с невыразимою миной негодования, -- проговорил, взял за руку Клару Олсуфьевну и отвернулся от господина Голядкина.

177

-- Нечего мне стыдиться, Андрей Филиппович, -- отвечал господин Голядкин также полушепотом, обводя свои несчастные взоры кругом, потерявшись и стараясь по сему случаю отыскать в недоумевающей толпе середины и социального своего положения.

-- Ну, и ничего, ну, и ничего, господа! ну, что ж такое? ну, и со всяким может случиться, -- шептал господин Голядкин, сдвигаясь понемногу с места и стараясь выбраться из окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш кое-как прошел между двумя рядами любопытных и недоумевающих наблюдателей. Рок увлекал его. Господин Голядкин сам это чувствовал, что рок-то его увлекал. Конечно, он бы дорого дал за возможность находиться теперь, без нарушения приличий, на прежней стоянке своей в сенях, возле черной лестницы; но так как это было решительно невозможно, то он и начал стараться улизнуть куда-нибудь в уголок да так и стоять себе там -- скромно, прилично, особо, никого не затрагивая, не обращая на себя исключительного внимания, но вместе с тем снискав благорасположение гостей и хозяина. Впрочем, господин Голядкин чувствовал, что его как будто бы подмывает что-то, как будто он колеблется, падает. Наконец он добрался до одного уголка и стал в нем как посторонний, довольно равнодушный наблюдатель, опершись руками на спинки стульев, захватив их, таким образом, в свое полное обладание и стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом на сгруппировавшихся около него гостей Олсуфья Ивановича. Ближе всех стоял к нему какой-то офицер, высокий и красивый малый, пред которым господин Голядкин почувствовал себя настоящей букашкой.

-- Эти два стула, поручик, назначены: один для Клары Олсуфьевны, а другой для танцующей здесь же княжны Чевчехановой; я их, поручик, теперь для них берегу, -- задыхаясь, проговорил господин Голядкин, обращая умоляющий взор на господина поручика. Поручик молча и с убийственной улыбкой отворотился. Осекшись в одном месте, герой наш попробовал было попытаться счастье где-нибудь с другой стороны и обратился прямо к одному важному советнику с значительным крестом на шее. Но советник обмерил его таким холодным взглядом, что господин Голядкин ясно почувствовал, что его вдруг окатили целым ушатом холодной воды. Господин Голядкин затих. Он решил лучше смолчать, не заговаривать, показать, что он так себе, что он тоже так, как и все, и что положение

178

его, сколько ему кажется по крайней мере, тоже приличное. С этою целью он приковал свой взгляд к обшлагам своего вицмундира, потом поднял глаза и остановил их на одном весьма почтенной наружности господине. "На этом господине парик, -- подумал господин Голядкин, -- а если снять этот парик, так будет голая голова, точь-в-точь как ладонь моя голая". Сделав такое важное открытие, господин Голядкин вспомнил и о арабских эмирах, у которых, если снять с головы зеленую чалму, которую они носят в знак родства своего с пророком Мухаммедом, то останется тоже голая, безволосая голова. Потом, и, вероятно, по особенному столкновению идей относительно турков в голове своей, господин Голядкин дошел и до туфель турецких и тут же кстати вспомнил, что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги. Заметно было, что господин Голядкин отчасти освоился с своим положением. "Вот если б эта люстра, -- мелькнуло в голове господина Голядкина, -- вот если б эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать Клару Олсуфьевну. Спасши ее, сказал бы ей: "Не беспокойтесь, сударыня; это ничего-с, а спаситель ваш я". Потом..." Тут господин Голядкин повернул глаза в сторону, отыскивая Клару Олсуфьевну, и увидел Герасимыча, старого камердинера Олсуфия Ивановича. Герасимыч с самым заботливым, с самым официально-торжественным видом пробирался прямо к нему. Господин Голядкин

вздрагнул и поморщился от какого-то безотчетного и вместе с тем самого неприятного ощущения. Машинально осмотрелся кругом: ему пришло было на мысль как-нибудь, этак под рукой, бочком, втихомолку улизнуть от греха, этак взять -- да и ступешваться, то есть сделать так, как будто бы он ни в одном глазу, как будто бы вовсе не в нем было и дело. Однако, прежде чем наш герой успел решиться на что-нибудь, Герасимыч уже стоял перед ним.

-- Видите ли, Герасимыч, -- сказал наш герой, с улыбочкой обращаясь к Герасимычу, -- вы возьмите да и прикажите, -- вот видите, свечка там в канделябре, Герасимыч, -- она сейчас упадет: так вы, знаете ли, прикажите поправить ее; она, право, сейчас упадет, Герасимыч...

-- Свечка-с? нет-с, свечка прямо стоит-с; а вот вас кто-то там спрашивает-с.

-- Кто же это там меня спрашивает, Герасимыч?

-- А уж, право, не знаю-с, кто именно-с. Человек от какнх-то-с. Здесь, дескать, находится Яков Петрович

179

Голядкин? Так вызовите, говорит, его по весьма нужному и спешному делу... вот как-с.

-- Нет, Герасимыч, вы ошибаетесь; в этом вы, Герасимыч, ошибаетесь.

-- Сумнительно-с...

-- Нет, Герасимыч, не сумнительно; тут, Герасимыч, ничего нет сумнительного. Никто меня не спрашивает. Герасимыч, меня некому спрашивать, а я здесь у себя, то есть на своем месте, Герасимыч.

Господин Голядкин перевел дух и осмотрелся кругом. Так и есть! Всё, что ни было в зале, все так и устремились на него взором и слухом в каком-то торжественном ожидании. Мужчины толпились поближе и прислушивались. Подальше тревожно перешептывались дамы. Сам хозяин явился в весьма недалеком расстоянии от господина Голядкина, и хотя по виду его нельзя было заметить, что он тоже в свою очередь принимает прямое и непосредственное участие в обстоятельствах господина Голядкина, потому что всё это делалось на деликатную ногу, но тем не менее всё это дало ясно почувствовать герою повести нашей, что минута для него настала решительная. Господин Голядкин ясно видел, что настало время удара смелого, время посрамления врагов его. Господин Голядкин был в волнении. Господин Голядкин почувствовал какое-то вдохновение и дрожащим, торжественным голосом начал снова, обращаясь к ожидавшему Герасимычу:

-- Нет, мой друг, меня никто не зовет. Ты ошибаешься. Скажу более, ты ошибался и утром сегодня, уверяя меня... осмеливаясь уверять меня, говорю я (господин Голядкин возвысил голос), что Олсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца, закажет для меня дверь свою в минуту семейной и торжественнейшей радости для его сердца родительского. (Господин Голядкин самодовольно, но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресницах его навернулись слезы.) Повторяю, мой друг, -- заключил наш герой, -- ты ошибался, ты жестоко, непростительно ошибался...

Минута была торжественная. Господин Голядкин чувствовал, что эффект был вернейший. Господин Голядкин стоял, скромно потупив глаза и ожидая объятий Олсуфия Ивановича. В гостях заметно было волнение и недоумение; даже сам непоколебимый и ужасный Герасимыч заикнулся на слове "сумнительно-с"... как вдруг беспощадный оркестр ни с того ни с сего грянул польку. Всё пропало, всё

180

на ветер пошло. Господин Голядкин вздрогнул, Герасимыч отшатнулся назад, всё, что ни было в зале, заволновалось, как море, и Владимир Семенович уже несся в первой паре с Кларой Олсуфьевной, а красивый поручик с княжной Чевчехановой. Зрители с любопытством и восторгом теснились взглянуть на танцующих польку -- танец интересный, новый, модный, круживший всем головы. Господин Голядкин был на время забыт. Но вдруг всё заволновалось, замешалось, засуетилось; музыка умолкла... случилось

странное происшествие. Утомленная танцем, Клара Олсуфьевна, едва переводя дух от усталости, с пылающими щеками и глубоко волнуящеюся грудью упала наконец в изнеможении сил в кресла. Все сердца устремились к прелестной очаровательнице, все спешили наперерыв приветствовать ее и благодарить за оказанное удовольствие, -- вдруг перед нею очутился господин Голядкин. Господин Голядкин был бледен, крайне расстроен; казалось, он тоже был в каком-то изнеможении, он едва двигался. Он отчего-то улыбался, он просительно протягивал руку. Клара Олсуфьевна в изумлении не успела отдернуть руки своей и машинально встала на приглашение господина Голядкина. Господин Голядкин покачнулся вперед, сперва один раз, потом другой, потом поднял ножку, потом как-то пришаркнул, потом как-то притопнул, потом споткнулся... он тоже хотел танцевать с Кларой Олсуфьевной. Клара Олсуфьевна вскрикнула; все бросились освобождать ее руку из руки господина Голядкина, и разом герой наш был оттеснен толпою едва ли не на десять шагов расстояния. Вокруг него сгруппировался тоже кружок. Послышался визг и крик двух старух, которых господин Голядкин едва не опрокинул в ретираде. Смятение было ужасное; всё спрашивало, всё кричало, всё рассуждало. Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своем и машинально, отчасти улыбаясь, что-то бормотал про себя, что, "дескать, отчего ж и нет и что, дескать, полька, сколько ему по крайней мере кажется, танец новый и весьма интересный, созданный для утешения дам... но что если так дело пошло, то он, пожалуй, готов согласиться". Но согласия господина Голядкина, кажется, никто и не спрашивал. Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, что его с какою-то особенною заботливостью направляют в какую-то сторону. Наконец, он заметил, что идет прямо к дверям. Господин Голядкин хотел было что-то сказать, что-то

181

сделать... Но нет, он уже ничего не хотел. Он только машинально отсмеивался. Наконец, он почувствовал, что на него надевают шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу; что, наконец, он почувствовал себя в сених, в темноте и на холоде, наконец и на лестнице. Наконец, он споткнулся, ему казалось, что он падает в бездну; он хотел было вскрикнуть -- и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул на него, он на минутку приостановился; в самое это мгновение до него долетели звуки вновь грянувшего оркестра. Господин Голядкин вдруг вспомнил всё; казалось, все опавшие силы его возвратились к нему опять. Он сорвался с места, на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-нибудь, на воздух, на волю, куда глаза глядят...

## Глава V

На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило ровно полночь, когда господин Голядкин, вне себя, выбежал на набережную Фонтанки, близ самого Измайловского моста, спасаясь от врагов, от преследований, от града щелчков, на него занесенных, от крика встревоженных старух, от оханья и аханья женщин и от убийственных взглядов Андрея Филипповича. Господин Голядкин был убит, -- убит вполне, в полном смысле слова, и если сохранил в настоящую минуту способность бежать, то единственно по какому-то чуду, по чуду, которому он сам, наконец, верить отказывался. Ночь была ужасная, ноябрьская, -- мокрая, туманная, дождливая, снежливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных родов и сортов -- одним словом, всеми дарами петербургского ноября. Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную воду Фонтанки и задорно потрогивая тощие фонари набережной, которые в свою очередь вторили его завываниям тоненьким, пронзительным скрипом, что составляло бесконечный, пискливый, дребезжащий концерт, весьма знакомый каждому петербургскому жителю. Шел дождь и снег разом. Прорываемые ветром струи дождевой воды прыскали чуть-чуть не горизонтально, словно из пожарной

трубы, и кололи и секли лицо несчастного господина Голядкина, как тысячи булавок и шпилек. Среди ночного безмолвия, прерываемого лишь отдаленным гулом карет, воем ветра и скрипом

182

фонарей, уныло слышались хлест и журчание воды, стекавшей со всех крыш, крылечек, желобов и карнизов на гранитный помост тротуара. Ни души не было ни вблизи, ни вдали, да казалось, что и быть не могло в такую пору и в такую погоду. Итак, один только господин Голядкин, один с своим отчаянием, трусил в это время по тротуару Фонтанки своим обыкновенным мелким и частым шажком, спеша добежать как можно скорее в свою Шестилавочную улицу, в свой четвертый этаж, к себе на квартиру.

Хотя снег, дождь и всё то, чему даже имени не бывает, когда разыграется вьюга и хмара под петербургским ноябрьским небом, разом, вдруг атаковали и без того убитого несчастиями господина Голядкина, не давая ему ни малейшей пощады и отдыха, пронимая его до костей, залепляя глаза, продувая со всех сторон, сбивая с пути и с последнего толка, хоть всё это разом опрокинулось на господина Голядкина, как бы нарочно сообщась и согласясь со всеми врагами его отработать ему денек, вечерок и ночь на славу, -- несмотря на всё это, господин Голядкин остался почти нечувствителен к этому последнему доказательству гонения судьбы: так сильно потрясло и поразило его всё происшедшее с ним несколько минут назад у господина статского советника Берендеева! Если б теперь посторонний, неинтересованный какой-нибудь наблюдатель взглянул бы так себе, сбоку, на тоскливую побегку господина Голядкина, то и тот бы разом проникнулся всем страшным ужасом его бедствий и непременно сказал бы, что господин Голядкин глядит теперь так, как будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь хочет. Да! оно было действительно так. Скажем более: господин Голядкин не только желал теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться. В настоящие минуты он не внимал ничему окружающему, не понимал ничего, что вокруг него делается, и смотрел так, как будто бы для него не существовало на самом деле ни неприятностей ненастной ночи, ни долгого пути, ни дождя, ни снега, ни ветра, ни всей крутой непогоды. Калоша, отставшая от сапога с правой ноги господина Голядкина, тут же и осталась в грязи и снегу, на тротуаре Фонтанки, а господин Голядкин и не подумал воротиться за нею и не приметил пропажи ее. Он был так озадачен, что несколько раз, вдруг, несмотря ни на что окружающее, проникнутый вполне идеей своего недавнего страшного падения,

183

останавливался неподвижно, как столб, посреди тротуара; в это мгновение он умирал, исчезал; потом вдруг срывался как бешеный с места и бежал, бежал без оглядки, как будто спасаясь от чьей-то погони, от какого-то еще более ужасного бедствия... Действительно, положение было ужасное!.. Наконец, в истощении сил, господин Голядкин остановился, оперся на перила набережной в положении человека, у которого вдруг, совсем неожиданно, потекла носом кровь, и пристально стал смотреть на мутную, черную воду Фонтанки. Неизвестно, сколько именно времени проведено было им в этом занятии. Известно только, что в это мгновение господин Голядкин дошел до такого отчаяния, так был истерзан, так был измучен, до того изнемог и опал и без того уже слабыми остатками духа, что позабыл обо всем: и об Измайловском мосте, и о Шестилавочной улице, и о настоящем своем... Что ж в самом деле? ведь ему было всё равно: дело сделано, кончено, решение скреплено и подписано; что ж ему?.. Вдруг.. вдруг он вздрогнул всем телом и невольно отскочил шага на два в сторону. С неизъяснимым беспокойством начал он озираться кругом; но никого не было, ничего не случилось особенного, -- а между тем... между тем ему показалось, что кто-то сейчас, сию минуту, стоял здесь, около него, рядом с ним, тоже облокотясь на перила набережной, и -- чудное дело! -- даже что-то сказал ему, что-то скоро сказал, отрывисто, не совсем понятно, но о чем-то весьма к нему близком, до него относящемся. "Что ж, это мне почудилось, что ли? -- сказал господин Голядкин, еще

раз озираясь кругом. -- Да я-то где же стою?.. Эх, эх!" -- заключил он, покачав головою, а между тем с беспокойным, тоскливым чувством, даже со страхом стал вглядываться в мутную, влажную даль, напрягая всеми силами зрение и всеми силами стараясь пронзить близоруким взором своим мокрую средину, перед ним расстилавшуюся. Однако ж ничего не было нового, ничего особенного не бросилось в глаза господину Голядкину. Казалось, всё было в порядке, как следует, то есть снег валил еще сильнее, крупнее и гуще; на расстоянии двадцати шагов не было видно ни зги; фонари скрипели еще пронзительнее прежнего, и ветер, казалось, еще плачевнее, еще жалостнее затягивал тоскливую песню свою, словно неотвязчивый нищий, вымаливающий медный грош на свое пропитание. "Эх, эх! да что ж это со мною такое?" -- повторил опять господин Голядкин, пускаясь снова в дорогу и всё слегка озираясь кругом.

184

А между тем какое-то новое ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина: тоска не тоска, страх не страх... лихорадочный трепет пробежал по жилам его. Минута была невыносимо неприятная! "Ну, ничего, -- проговорил он, чтоб себя ободрить, -- ну, ничего; может быть, это и совсем ничего и чести ничьей не марает. Может быть, оно так и надобно было, -- продолжал он, сам не понимая, что говорит, -- может быть, всё это в свое время устроится к лучшему, и претендовать будет не на что, и всех оправдает". Таким образом говоря и словами себя облегчая, господин Голядкин отряхнулся немного, стряхнул с себя снежные хлопья, навалившиеся густою корою ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстух, на сапоги и на всё, -- но странного чувства, странной темной тоски своей всё еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя. Где-то далеко раздался пушечный выстрел. "Эка погодка, -- подумал герой наш, -- чу! не будет ли наводнения? видно, вода поднялась слишком сильно". Только что сказал или подумал это господин Голядкин, как увидел впереди себя идущего ему навстречу прохожего, тоже, вероятно, как и он, по какому-нибудь случаю запоздалого. Дело бы, кажется, пустое, случайное; но, неизвестно почему, господин Голядкин смутился и даже струсил, потерялся немного. Не то чтоб он боялся недоброго человека, а так, может быть... "Да и кто его знает, этого запоздалого, -- промелькнуло в голове господина Голядкина, -- может быть, и он то же самое, может быть, он-то тут и самое главное дело, и недаром идет, а с целью идет, дорогу мою переходит и меня задевает". Может быть, впрочем, господин Голядкин и не подумал именно этого, а так только ощутил мгновенно что-то подобное и весьма неприятное. Думать-то и ощущать, впрочем, некогда было: прохожий уже был в двух шагах. Господин Голядкин тотчас, по всегдашнему обыкновению своему, поспешил принять вид совершенно особенный, -- вид, ясно выражавший, что он, Голядкин, сам по себе, что он ничего, что дорога для всех довольно широкая и что ведь он, Голядкин, сам никого не затрагивает. Вдруг он остановился, как вкопанный, как будто молнией пораженный, и быстро потом обернулся назад, вслед прохожему, едва только его минувшему, -- обернулся с таким видом, как будто что его дернуло сзади, как будто ветер повернул его флюгер. Прохожий быстро исчезал в снежной метелице. Он тоже шел торопливо, тоже, как и господин Голядкин, был одет и укутан с головы до ног и,

185

так же как и он, дробил и семенил по тротуару Фонтанки частым, мелким шагком, немного с притрусочкой. "Что, что это?" -- шептал господин Голядкин, недоверчиво улыбаясь, однако ж дрогнул всем телом. Морозом подернуло у него по спине. Между тем прохожий исчез совершенно, не стало уже слышно и шагов его, а господин Голядкин всё еще стоял и глядел ему вслед. Однако ж наконец он мало-помалу опомнился. "Да что ж это такое, -- подумал он с досадою, -- что ж это я, с ума, что ли, в самом деле сошел?" -- обернулся и пошел своею дорогою, ускоряя и частя более и более шаги и стараясь уж лучше вовсе ни о чем не думать. Даже и глаза, наконец, закрыл с сею целью. Вдруг, сквозь завывания ветра и шум непогоды, до слуха его долетел опять шум чьих-то весьма недалеких шагов. Он вздрогнул и открыл глаза. Перед ним опять, шагах в двадцати от

него, чернелся какой-то быстро приближавшийся к нему человек. Человек этот спешил, частил, торопился; расстояние быстро уменьшалось. Господин Голядкин уже мог даже совсем разглядеть своего нового запоздалого товарища, -- разглядел и вскрикнул от изумления и ужаса; ноги его подкосились. Это был тот самый знакомый ему пешеход, которого он, минут с десять назад, пропустил мимо себя и который вдруг, совсем неожиданно, теперь опять перед ним появился. Но не одно это чудо поразило господина Голядкина, -- а поражен господин Голядкин был так, что остановился, вскрикнул, хотел было что-то сказать -- и пустился догонять незнакомца, даже закричал ему что-то, вероятно желая остановить его поскорее. Незнакомец остановился действительно, так -- шагах в десяти от господина Голядкина, и так, что свет близ стоявшего фонаря совершенно падал на всю фигуру его, -- остановился, обернулся к господину Голядкину и с нетерпеливо-озабоченным видом ждал, что он скажет. "Извините, я, может, и ошибся", -- дрожащим голосом проговорил наш герой. Незнакомец молча и с досадою повернулся и быстро пошел своею дорогою, как будто спеша нагнать потерянные две секунды с господином Голядкиным. Что же касается до господина Голядкина, то у него задрожали все жилки, колени его подогнулись, ослабли, и он со стоном присел на тротуарную тумбочку. Впрочем, действительно, было от чего прийти в такое смущение. Дело в том, что незнакомец этот показался ему теперь как-то знакомым. Это бы еще всё ничего. Он его часто видывал, этого человека, когда-то видывал,

186

даже недавно весьма; где же бы это? уж не вчера ли? Впрочем, и опять не в том было главное дело, что господин Голядкин его видывал часто; да и особенного-то в этом человеке почти не было ничего, -- особенного внимания решительно ничьего не возбуждал с первого взгляда этот человек. Так, человек был, как и все, порядочный, разумеется, как и все люди порядочные, и, может быть, имел там кое-какие и даже довольно значительные достоинства, -- одним словом: был сам по себе человек. Господин Голядкин не питал даже ни ненависти, ни вражды, ни даже никакой самой легкой неприязни к этому человеку, даже напротив, казалось бы, -- а между тем (ив этом-то вот обстоятельстве была главная сила), а между тем ни за какие сокровища мира не желал бы встретиться с ним и особенно встретиться так, как теперь, например. Скажем более: господин Голядкин знал вполне этого человека; он даже знал, как зовут его, как фамилия этого человека; а между тем ни за что, и опять-таки ни за какие сокровища в мире, не захотел бы назвать его, согласиться признать, что вот, дескать, его так-то зовут, что он так-то по батюшке и так по фамилии. Много ли, мало ли продолжалось недоразумение господина Голядкина, долго ли именно он сидел на тротуарном столбу, -- не могу сказать, но только, наконец маленько очнувшись, он вдруг пустился бежать без оглядки, что силы в нем было; дух его занимался; он споткнулся два раза, чуть не упал -- и при этом обстоятельстве осиротел другой сапог господина Голядкина, тоже покинутый своею калошею. Наконец, господин Голядкин сбавил шагу немножко, чтоб дух перевести, торопливо осмотрелся кругом и увидел, что уже перебежал, не замечая того, весь свой путь по Фонтанке, перешел Аничков мост, миновал часть Невского и теперь стоит на повороте в Литейную. Господин Голядкин поворотил в Литейную. Положение его в это мгновение походило на положение человека, стоящего над страшной стремниной, когда земля под ним обрывается, уж покачнулась, уж двинулась, в последний раз колыхнется, падает, увлекает его в бездну, а между тем у несчастного нет ни силы, ни твердости духа отскочить назад, отвести свои глаза от зияющей пропасти; бездна тянет его, и он прыгает, наконец, в нее сам, сам ускоряя минуту своей же гибели. Господин Голядкин знал, чувствовал и был совершенно уверен, что с ним непременно совершится дорогой еще что-то недоброе, что разразится над ним еще какая-нибудь неприятность,

187

что, например, он встретит опять своего незнакомца; но -- странное дело, он даже желал этой встречи, считал ее неизбежною и просил только, чтоб поскорее всё это кончилось,

чтоб положение-то его разрешилось хоть как-нибудь, но только б скорее. А между тем он всё бежал да бежал, и словнодвигаемый какою-то постороннею силою, ибо во всем существе своем чувствовал какое-то ослабление и онемение; думать ни о чем он не мог, хотя идеи его цеплялись за всё, как терновник. Какая-то затерянная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за господином Голядкиным и тоже бежала около него бочком, торопливо, поджав хвост и уши, по временам робко и понятливо на него поглядывая. Какая-то далекая, давно уж забытая идея, -- воспоминание о каком-то давно случившемся обстоятельстве, -- пришла теперь ему в голову, стучала, словно молоточком, в его голове, досаждала ему, не отвязывалась прочь от него. "Эх, эта скверная собачонка!" -- шептал господин Голядкин, сам не понимая себя. Наконец, он увидел своего незнакомца на повороте в Итальянскую улицу. Только теперь незнакомец уже шел не навстречу ему, а в ту же самую сторону, как и он, тоже бежал, несколько шагов впереди. Наконец, вошли в Шестилавочную. У господина Голядкина дух захватило. Незнакомец остановился прямо перед тем домом, в котором квартировал господин Голядкин. Послышался звон колокольчика и почти в то же время скрип железной задвижки. Калитка отворилась, незнакомец нагнулся, мелькнул и исчез. Почти в то же самое мгновение поспел и господин Голядкин и, как стрелка, влетел под ворота. Не слушая заворчавшего дворника, запыхавшись, вбежал он на двор и тотчас же увидел своего интересного спутника, на минуту потерянного. Незнакомец мелькнул при входе на ту лестницу, которая вела в квартиру господина Голядкина. Господин Голядкин бросился вслед за ним. Лестница была темная, сырая и грязная. На всех поворотах нагромождена была бездна всякого жилецкого хлама, так что чужой, не бывалый человек, попавши на эту лестницу в темное время, принуждаем был по ней с полчаса путешествовать, рискуя сломать себе ноги и проклиная вместе с лестницей и знакомых своих, неудобно так поселившихся. Но спутник господина Голядкина был словно знакомый, словно домашний; взбегал легко, без затруднений и с совершенным знанием местности. Господин Голядкин почти совсем нагонял его; даже раза два или три подол шинели незнакомца ударил его по носу. Сердце в нем

188

замирало. Таинственный человек остановился прямо против дверей квартиры господина Голядкина, стукнул, и (что, впрочем, удивило бы в другое время господина Голядкина) Петрушка, словно ждал и спать не ложился, тотчас отворил дверь и пошел за вошедшим человеком со свечою в руках. Вне себя вбежал в жилище свое герой нашей повести; не снимая шинели и шляпы, прошел он коридорчик и, словно громом пораженный, остановился на пороге своей комнаты. Все предчувствия господина Голядкина сбылись совершенно. Всё, чего опасался он и что предугадывал, совершилось теперь наяву. Дыхание его порвалось, голова закружилась. Незнакомец сидел перед ним, тоже в шинели и в шляпе, на его же постели, слегка улыбаясь, и, прищурясь немного, дружески кивал ему головою. Господин Голядкин хотел закричать, но не мог, -- протестовать каким-нибудь образом, но сил не хватило. Волосы встали на голове его дыбом, и он присел без чувств на месте от ужаса. Да и было от чего, впрочем. Господин Голядкин совершенно узнал своего ночного приятеля. Ночной приятель его был не кто иной, как он сам, -- сам господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, -- одним словом, что называется, двойник его во всех отношениях. ....

## Глава VI

На другой день, ровно в восемь часов, господин Голядкин очнулся на своей постели. Тотчас же все необыкновенные вещи вчерашнего дня и вся невероятная, дикая ночь, с ее почти невозможными приключениями, разом, вдруг, во всей ужасающей полноте, явились

его воображению и памяти. Такая ожесточенная адская злоба врагов его и особенно последнее доказательство этой злобы оледенили сердце господина Голядкина. Но и вместе с тем всё это было так странно, непонятно, дико, казалось так невозможным, что действительно трудно было веру дать всему этому делу; господин Голядкин даже сам готов был признать всё это несбыточным бредом, мгновенным расстройством воображения, отемнением ума, если б, к счастью своему, не знал по горькому житейскому опыту, до чего иногда злоба может довести человека, -- до чего может иногда дойти ожесточенность врага, мстящего за честь и

189

амбицию. К тому же разбитые члены господина Голядкина, чадная голова, изломанная поясница и злокачественный насморк сильно свидетельствовали и отстаивали всю вероятность вчерашней ночной прогулки, а частью и всего прочего, приключившегося во время этой прогулки. Да и, наконец, господин Голядкин уже давным-давно знал, что у них там что-то готовится, что у них там есть кто-то другой. Но -- что же? Хорошенько раздумав, господин Голядкин решился смолчать, покориться и не протестовать по этому делу до времени. "Так, может быть, только поугадать меня вздумали, а как увидят, что я ничего, не протестую и совершенно смиряюсь, с смирением переносу, так и отступятся, сами отступятся, да еще первые отступятся".

Так вот такие-то мысли были в голове господина Голядкина, когда он, потягиваясь в постели своей и расправляя разбитые члены, ждал, этот раз, обычного появления Петрушки в своей комнате. Ждал он уже с четверть часа; слышал, как ленивец Петрушка возится за перегородкой с самоваром, а между тем никак не решался позвать его. Скажем более: господин Голядкин даже немного боялся теперь очной ставки с Петрушкой. "Ведь бог знает, -- думал он, -- ведь бог знает, как теперь смотрит на всё это дело этот мошенник. Он там молчит-молчит, а сам себе на уме". Наконец дверь заскрипела и явился Петрушка с подносом в руках. Господин Голядкин робко на него покосился, с нетерпением ожидая, что будет, ожидая, не скажет ли он наконец чего-нибудь насчет известного обстоятельства. Но Петрушка ничего не сказал, а напротив, был как-то молчаливее, суровее и сердитее обыкновенного, косился на всё исподлобья; вообще видно было, что он чем-то крайне недоволен; даже ни разу не взглянул на своего барина, что, мимоходом сказать, немного кольнуло господина Голядкина; поставил на стол всё, что принес с собой, повернулся и ушел молча за свою перегородку. "Знает, знает, всё знает, бездельник!" -- ворчал господин Голядкин, принимаясь за чай. Однако ж герой наш ровно ничего не расспросил у своего человека, хотя Петрушка несколько раз потом входил в его комнату за разными надобностями. В самом тревожном положении духа был господин Голядкин. Жутко было еще идти в департамент. Сильное предчувствие было, что вот именно там-то что-нибудь да не так. "Ведь вот пойдешь, -- думал он, -- да как наткнешься на что-нибудь? Не лучше ли теперь потерпеть?"

190

Не лучше ли теперь подождать? Они там -- пускай себе как хотят; а я бы сегодня здесь подождал, собрался бы с силами, оправился бы, размыслил получше обо всем этом деле, да потом улучил бы минутку, да всем им как снег на голову, а сам ни в одном глазу". Раздумывая таким образом, господин Голядкин выкуривал трубку за трубкой; время летело; было уже почти половина десятого. "Ведь вот уже половина десятого, -- думал господин Голядкин, -- и являться-то поздно. Да к тому же я болен, разумеется болен, непременно болен; кто же скажет, что нет? Что мне! А пришлют свидетельствовать, а пусть придет экзекутор; да и что же мне в самом деле? У меня вот спина болит, кашель, насморк; да и наконец, и нельзя мне идти, никак нельзя по этой погоде; я могу заболеть, а потом и умереть, пожалуй; нынче особенно смертность такая..." Такими резонами господин Голядкин успокоил наконец вполне свою совесть и заранее оправдался сам перед собою в нагоняе, ожидаемом от Андрея Филипповича за нерадение по службе. Вообще во всех подобных обстоятельствах крайне любил наш герой оправдывать себя в собственных

глазах своих разными неотразимыми резонами и успокаивать таким образом вполне свою совесть. Итак, успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он за трубку, набил ее и, только что начал порядочно раскуривать, -- быстро вскочил с дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, пригладился, натянул на себя вицмундир и всё прочее, захватил кое-какие бумаги и полетел в департамент.

Вошел господин Голядкин в свое отделение робко, с трепещущим ожиданием чего-то весьма нехорошего, -- ожиданием хотя бессознательным, темным, но вместе с тем и неприятным; робко присел он на свое всегдашнее место возле столоначальника, Антона Антоновича Сеточкина. Ни на что не глядя, не отвлекаясь ничем, вникнул он в содержание лежавших перед ним бумаг. Решился он и дал себе слово как можно сторониться от всего вызывающего, от всего могущего сильно его компрометировать, как-то: от нескромных вопросов, от чьих-нибудь шуточек и неприличных намеков насчет всех обстоятельств вчерашнего вечера; решился даже отстраниться от обычных учтивостей с сослуживцами, то есть вопросов о здоровье и прочее. Но очевидно тоже, что так оставаться было нельзя, невозможно. Беспокойство и неведение о чем-нибудь, близко его задевающим, всегда его мучило более, нежели самое задевающее. И вот почему, несмотря на данное себе слово

191

не входить ни во что, что бы ни делалось, и сторониться от всего, что бы ни было, господин Голядкин изредка, украдкой, тихонько-тихонько приподымал голову и исподтишка поглядывал на стороны, направо, налево, заглядывал в физиономии своих сослуживцев и по ним уже старался заключить, нет ли чего нового и особенного, до него относящегося и от него с какими-нибудь неблагоприятными целями скрываемого. Предполагал он непременно связь всего своего вчерашнего обстоятельства со всем теперь его окружающим. Наконец, в тоске своей, он начал желать, чтоб хоть бог знает как, да только разрешилось бы всё поскорее, хоть и бедой какой-нибудь -- нужды нет! Как тут судьба поймала господина Голядкина: не успел он пожелать, как сомнения его вдруг разрешились, но зато самым странным и самым неожиданным образом.

Дверь из другой комнаты вдруг скрипнула тихо и робко, как бы рекомендуя тем, что входящее лицо весьма незначительно, и чья-то фигура, впрочем весьма знакомая господину Голядкину, застенчиво явилась перед самым тем столом, за которым помещался герой наш. Герой наш не подымал головы, -- нет, он нагядел эту фигуру лишь вскользь, самым маленьким взглядом, но уже всё узнал, понял всё, до малейших подробностей. Он сгорел от стыда и уткнул в бумагу свою победную голову, совершенно с тою же самою целью, с которою страус, преследуемый охотником, прячет свою в горячий песок. Новоприбывший поклонился Андрею Филипповичу, и вслед затем послышался голос форменно-ласковый, такой, каким говорят начальники во всех служебных местах с новопоступившими подчиненными. "Сядьте вот здесь, -- проговорил Андрей Филиппович, указывая новичку на стол Антона Антоновича, -- вот здесь, напротив господина Голядкина, а делом мы вас тотчас займем". Андрей Филиппович, заключил тем, что сделал новоприбывшему скорый прилично-увещательный жест, а потом немедленно углубился в сущность разных бумаг, которых перед ним была целая куча.

Господин Голядкин поднял наконец глаза, и если не упал в обморок, то единственно оттого, что уже сперва всё дело предчувствовал, что уже сперва был обо всем предуведомлен, угадав пришельца в душе. Первым движением господина Голядкина было быстро осмотреться кругом, -- нет ли там какого шушуканья, не отливается ли на этот счет какая-нибудь острота канцелярская, не искривилось

192

ли чье лицо удивлением, не упал ли, наконец, кто-нибудь под стол от испуга. Но, к величайшему удивлению господина Голядкина, ни в ком не обнаружилось ничего подобного. Поведение господ товарищей и сослуживцев господина Голядкина поразило его. Оно казалось вне здравого смысла. Господин Голядкин даже испугался такого

необыкновенного молчания. Существенность за себя говорила; дело было странное, безобразное, дикое. Было от чего шевельнуться. Всё это, разумеется, только мелькнуло в голове господина Голядкина. Сам же он горел на мелком огне. Да и было от чего, впрочем. Тот, кто сидел теперь напротив господина Голядкина, был -- ужас господина Голядкина, был -- стыд господина Голядкина, был -- вчерашний кошмар господина Голядкина, одним словом, был сам господин Голядкин, -- не тот господин Голядкин, который сидел теперь на стуле с разинутым ртом и с застывшим пером в руке; не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника; не тот, который любит стушеваться и зарыться в толпе; не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает: "Не троньте меня, и я вас трогать не буду", или: "Не троньте меня, ведь я вас не затрогиваю", -- нет, это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого, -- такого же роста, такого же склада, так же одетый, с такой же лысиной, -- одним словом, ничего, решительно ничего не было забыто для совершенного сходства, так что если б взять да поставить их рядом, то никто, решительно никто не взял бы на себя определить, который именно настоящий Голядкин, а который поддельный, кто старенький и кто новенький, кто оригинал и кто копия.

Герой наш, если возможно сравнение, был теперь в положении человека, над которым забавлялся проказник какой-нибудь, для шутки наводя на него исподтишка зажигательное стекло. "Что же это, сон или нет, -- думал он, -- настоящее или продолжение вчерашнего? Да как же? по какому же праву всё это делается? кто разрешил такого чиновника, кто дал право на это? Сплю ли я, грежу ли я?" Господин Голядкин попробовал ущипнуть самого себя, даже попробовал вознамериться ущипнуть другого кого-нибудь... Нет, не сон, да и только. Господин Голядкин почувствовал, что пот с него градом льется, что сбывается с ним небывалое и доселе невиданное и, по тому самому, к довершению несчастья, неприличное, ибо господин Голядкин понимал и ощущал всю невыгоду быть в таком

193

пасквильном деле первым примером. Он даже стал, наконец, сомневаться в собственном существовании своем, и хотя заранее был ко всему приготовлен и сам желал, чтоб хоть каким-нибудь образом разрешились его сомнения, но самая-то сущность обстоятельства уж конечно стоила неожиданности. Тоска его давила и мучила. Порой он совершенно лишался и смысла и памяти. Очнувшись после такого мгновения, он замечал, что машинально и бессознательно водит пером по бумаге. Не доверяя себе, он начинал поверять всё написанное -- и не понимал ничего. Наконец другой господин Голядкин, сидевший до сих пор чинно и смирно, встал и исчез в дверях другого отделения за каким-то делом. Господин Голядкин оглянулся кругом, -- ничего, всё тихо; слышен лишь скрип перьев, шум переворачиваемых листов и говор в уголках поотдаленнее от сидалища Андрея Филипповича. Господин Голядкин взглянул на Антона Антоновича, и так как, по всей вероятности, физиономия нашего героя вполне отзывалась его настоящим и гармонировала со всем смыслом дела, следовательно в некотором отношении была весьма замечательна, то добрый Антон Антонович, отложив перо в сторону, с каким-то необыкновенным участием осведомился о здоровье господина Голядкина.

-- Я, Антон Антонович, славу богу, -- заикаясь, проговорил господин Голядкин. -- Я, Антон Антонович, совершенно здоров; я, Антон Антонович, теперь ничего, -- прибавил он нерешительно, не совсем еще доверяя часто поминаемому им Антону Антоновичу.

-- А! А мне показалось, что вы нездоровы; впрочем, немудрено, чего доброго! Нынче же особенно всё такие поветрия. Знаете ли...

-- Да, Антон Антонович, я знаю, что существуют такие поветрия... Я, Антон Антонович, не оттого, -- продолжал господин Голядкин, пристально вглядываясь в Антона Антоновича, -- я, видите ли, Антон Антонович, даже не знаю, как вам, то есть я хочу сказать, с которой стороны за это дело приняться, Антон Антонович...

-- Что-с? Я вас... знаете ли... я, признаюсь вам, не так-то хорошо понимаю; вы... знаете, вы объяснитесь подробнее, в каком отношении вы здесь затрудняетесь, -- сказал Антон

Антонович, сам затрудняясь немножко, видя, что у господина Голядкина даже слезы на глазах выступили.

-- Я, право... здесь, Антон Антонович... тут -- чиновник, Антон Антонович...

194

-- Ну-с! Всё еще не понимаю.

-- Я хочу сказать, Антон Антонович, что здесь есть новопоступивший чиновник.

-- Да-с, есть-с; однофамилец ваш.

-- Как? -- вскрикнул господин Голядкин.

-- Я говорю: ваш однофамилец; тоже Голядкин. Не братец ли ваш?

-- Нет-с, Антон Антонович, я...

-- Гм! скажите, пожалуйста, а мне показалось, что, должно быть, близкий ваш родственник. Знаете ли, есть такое, фамильное в некотором роде, сходство.

Господин Голядкин остолбенел от изумления, и на время у него язык отнялся. Так легко трактовать такую безобразную, невиданную вещь, вещь действительно редкую в своем роде, вещь, которая поразила бы даже самого неинтересованного наблюдателя, говорить о фамильном сходстве тогда, когда тут видно, как в зеркале!

-- Я, знаете ли, что посоветую вам, Яков Петрович, -- продолжал Антон Антонович. -- Вы сходите-ка к доктору да посоветуйтесь с ним. Знаете ли, вы как-то выглядите совсем нездорово. У вас глаза особенно... знаете, особенное какое-то выражение есть.

-- Нет-с, Антон Антонович, я, конечно, чувствую... то есть я хочу всё спросить, как же этот чиновник?

-- Ну-с?

-- То есть вы не замечали ли, Антон Антонович, чего-нибудь в нем особенного... слишком чего-нибудь выразительного?

-- То есть?

-- То есть я хочу сказать, Антон Антонович, поразительного сходства такого с кем-нибудь, например, то есть со мной, например. Вы вот сейчас, Антон Антонович, сказали про фамильное сходство, замечание вскользь сделали... Знаете ли, этак иногда близнецы бывают, то есть совершенно как две капли воды, так что и отличить нельзя? Ну, вот я про это-с.

-- Да-с, -- сказал Антон Антонович, немного подумав и как будто в первый раз пораженный таким обстоятельством, -- да-с! справедливо-с. Сходство в самом деле разительное, и вы безошибочно рассудили, так что и действительно можно принять одного за другого, -- продолжал он, более и более открывая глаза. -- И знаете ли, Яков Петрович, это даже чудесное сходство, фантастическое, как иногда говорится, то есть совершенно, как вы... Вы

195

заметили ли, Яков Петрович? Я даже сам хотел просить у вас объяснения, да, признаюсь, не обратил должного внимания сначала. Чудо, действительно, чудо! А знаете ли, Яков Петрович, вы ведь не здешний родом, я говорю?

-- Нет-с.

-- Он также ведь не из здешних. Может быть, из одних с вами мест. Ваша матушка, смею спросить, где большею частью проживала?

-- Вы сказали... вы сказали, Антон Антонович, что он не из здешних?

-- Да-с, не из здешних мест. А и в самом деле, как же это чудно, -- продолжал словоохотливый Антон Антонович, которому поболтать о чем-нибудь было истинным праздником, -- действительно способно завлечь любопытство; и ведь как часто мимо пройдешь, заденешь, толкнешь его, а не заметишь. Впрочем, вы не смущайтесь. Это бывает. Это, знаете ли, -- вот я вам расскажу, -- то же самое случилось с моей тетушкой с матерней стороны; она тоже перед смертью себя вдвойне видела...

-- Нет-с, я, -- извините, что прерываю вас, Антон Антонович, -- я, Антон Антонович, хотел бы узнать, как же этот чиновник, то есть на каком он здесь основании?

-- А на место Семена Ивановича покойника, на вакантное место; вакансия открылась, так вот и заместили. Ведь вот, право, сердечный этот Семен-то Иванович покойник троих детей, говорят, оставил -- мал мала меньше. Вдова падала к ногам его превосходительства. Говорят, впрочем, она таит: у ней есть деньжонки, да она их таит...

-- Нет-с, я, Антон Антонович, я вот всё о том обстоятельстве.

-- То есть? Ну, да! да что же вы-то так интересуетесь этим? Говорю вам: вы не смущайтесь. Это всё временное отчасти. Что ж? ведь вы сторона; это уж так сам господь бог устроил, это уж его воля была, и роптать на это грешно. На этом его премудрость видна. А вы же тут, Яков Петрович, сколько я понимаю, не виноваты нисколько. Мало ли чудес есть на свете! Мать-природа щедра; а с вас за это ответа не спросят, отвечать за это не будете. Ведь вот, для примера, кстати сказать, слышали, надеюсь, как их, как бишь их там, да, сиамские близнецы, срослись себе спинами, так и живут, и едят, и спят вместе; деньги, говорят большие берут.

-- Позвольте, Антон Антонович...

196

-- Понимаю вас, понимаю! Да! ну да что ж? -- ничего! Я говорю, по крайнему моему разумению, что смущаться тут нечего. Что ж? он чиновник как чиновник; кажется, что деловой человек. Говорит, что Голядкин; не из здешних мест, говорит, титулярный советник. Лично с его превосходительством объяснялся.

-- А ну, как же-с?

-- Ничего-с; говорят, что достаточно объяснился, резоны представил; говорит, что вот, дескать, так и так, ваше превосходительство, и что нет состояния, а желаю служить и особенно под вашим лестным начальством... ну, и там всё, что следует, знаете ли, ловко всё выразил. Умный человек, должно быть. Ну, разумеется, явился с рекомендацией; без нее ведь нельзя...

-- Ну-с, от кого же-с... то есть я хочу сказать, кто тут именно в это срамное дело руку свою замешал?

-- Да-с. Хорошая, говорят, рекомендация; его превосходительство, говорят, посмеялись с Андреем Филипповичем.

-- Посмеялись с Андреем Филипповичем?

-- Да-с; только так улыбнулись и сказали, что хорошо, и пожалуй, и что они с их стороны не прочь, только бы верно служил...

-- Ну-с, дальше-с. Вы меня оживляете отчасти, Антон Антонович; умоляю вас -- дальше-с.

-- Позвольте, я опять что-то вас... Ну-с, да-с; ну, и ничего-с; обстоятельство немудреное; вы, я вам говорю, не смущайтесь, и сумнительного в этом нечего находить...

-- Нет-с. Я, то есть, хочу спросить вас, Антон Антонович, что, его превосходительство ничего больше не прибавили... насчет меня, например?

-- То есть как же-с! Да-с! Ну, нет, ничего; можете быть совершенно спокойны. Знаете, оно, конечно, разумеется, обстоятельство довольно разительное и сначала... да вот я, например, сначала я и не заметил почти. Не знаю, право, отчего не заметил до тех пор, покамест вы не напомнили. Но, впрочем, можете быть совершенно спокойны. Ничего особенного, ровно ничего не сказали, -- прибавил добренький Антон Антонович, вставая со стула.

-- Так вот-с я, Антон Антонович...

-- Ах, вы меня извините-с. Я и так о пустяках проболтал, а вот дело есть важное, спешное. Нужно вот справиться.

197

-- Антон Антонович! -- раздался учтиво-призывный голос Андрея Филипповича, -- его превосходительство спрашивал.

-- Сейчас, сейчас, Андрей Филиппович, сейчас иду-с. -- И Антон Антонович, взяв в руки кучку бумаг, полетел сначала к Андрею Филипповичу, а потом в кабинет его превосходительства.

"Так как же это? -- думал про себя господин Голядкин, -- так вот у нас игра какова! Так вот у нас какой ветерок теперь подует... Это недурно; это, стало быть, неприятнейший оборот дела приняли, -- говорил про себя герой наш, потирая руки и не слыша под собою стула от радости. -- Так дело-то наше обыкновенное дело. Так всё пустячками кончается, ничем разрешается. В самом деле, никто ничего, и не пикнут, разбойники, сидят и делами занимаются; славно, славно! я доброго человека люблю, любил и всегда готов уважать... Впрочем, ведь оно и того, как подумать, этот Антон-от Антонович... доверяться-то страшно: сед чересчур и от старости покачнулся порядком. Самое, впрочем, славное и громадное дело то, что его превосходительство ничего не сказали и так пропустили: оно хорошо! одобряю! Только Андрей-то Филиппович чего ж тут с своими смешками мешается? Ему-то тут что? Старая петля! всегда на пути моем, всегда черной кошкой норовит перебежать человеку дорогу, всегда-то поперек да в пику человеку; человеку-то в пику да поперек..."

Господин Голядкин опять оглянулся кругом и опять оживился надеждой. Чувствовал он, впрочем, что его все-таки смущает одна отдаленная мысль, какая-то недобрая мысль. Ему даже пришлось было в голову самому как-нибудь подбиться к чиновникам, забежать вперед зайцем, даже (там как-нибудь при выходе из должности или подойдя как будто бы за делами), между разговором, и намекнуть, что вот, дескать, господа, так и так, вот такое-то сходство разительное, обстоятельство странное, комедия пасквильная -- то есть подтрунить самому над всем этим да и сондировать таким образом глубину опасности. "А то ведь в тихом-то омуте черти водятся", -- мысленно заключил наш герой. Впрочем, господин Голядкин это только подумал; зато одумался вовремя. Понял он, что это значит махнуть далеко. "Натура-то твоя такова! -- сказал он про себя, шелкнув себя легонько по лбу рукою, -- сейчас заиграешь, обрадовался! душа ты правдивая! Нет, уж лучше мы с тобой потерпим, Яков Петрович, подождем да

198

потерпим!" Тем не менее, и как мы уже упомянули, господин Голядкин возродился полной надеждой, точно из мертвых воскрес. "Ничего, -- думал он, -- словно пятьсот пудов с груди сорвалось! Ведь вот обстоятельство! А ларчик-то просто ведь открывался. Крылов-то и прав, Крылов-то и прав... дока, петля этот Крылов и баснописец великий! А что до того, так пусть его служит, пусть его служит себе на здоровье, лишь бы никому не мешал и никого не затрогивал; пусть его служит, -- согласен и апробую!"

А между тем часы проходили, летели, и незаметно стукнуло четыре часа. Присутствие закрылось; Андрей Филиппович взялся за шляпу, и, как водится, все последовали его примеру. Господин Голядкин помедлил немножко, нужное время, и вышел нарочно позже всех, самым последним, когда уже все разбрелись по разным дорогам. Вышед на улицу, он почувствовал себя точно в раю, так, что даже ощутил желание хоть и крюку дать, а пройтись по Невскому. "Ведь вот судьба! -- говорил наш герой, -- неожиданный переворот всего дела. И погодка-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то годится русскому человеку, славно уживается с морозом русский человек. Я люблю русского человека. И снежок и первая пороша, как сказал бы охотник; вот бы тут зайца по первой пороше! Эхма! да ну, ничего!"

Так-то выражался восторг господина Голядкина, а между тем что-то всё еще щекотало у него в голове, тоска не тоска, -- а порой так сердце насасывало, что господин Голядкин не знал, чем утешить себя. "Впрочем, подождем-ка мы дня и тогда будем радоваться. А впрочем, ведь что же такое? Ну, рассудим, посмотрим. Ну, давай рассуждать, молодой друг мой, ну, давай рассуждать. Ну, такой же, как и ты, человек, во-первых, совершенно такой же. Ну, да что ж тут такого? Коли такой человек, так мне и плакать? Мне-то что? Я в стороне; свищу себе, да и только! На то пошел, да и только! Пусть его служит! Ну, чудо и

странность, там говорят, что сиамские близнецы... Ну, да зачем их, сиамских-то? положим, они близнецы, но ведь и великие люди подчас чудаками смотрели. Даже из истории известно, что знаменитый Суворов пел петухом... Ну, да он там это всё из политики; и великие полководцы... да, впрочем, что ж полководцы? А вот я сам по себе, да и только, и знать никого не хочу, и в невинности моей врага презираю. Не интригант, и этим горжусь. Чист, прямодушен, опрятен, приятен, незлобив..."

199

Вдруг господин Голядкин умолк, осекся и как лист задрожал, даже закрыл глаза на мгновение. Надеясь, впрочем, что предмет его страха просто иллюзия, открыл он наконец глаза и робко покосился направо. Нет, не иллюзия!.. Рядом с ним семенил утренний знакомец его, улыбался, заглядывал ему в лицо и, казалось, ждал случая начать разговор. Разговор, впрочем, не начинался. Оба они прошли шагов пятьдесят таким образом. Всё старание господина Голядкина было как можно плотнее закутаться, зарыться в шинель и нахлобучить на глаза шляпу до последней возможности. К довершению обиды даже и шинель и шляпа его приятеля были точно такие же, как будто сейчас с плеча господина Голядкина.

-- Милостивый государь, -- произнес наконец наш герой, стараясь говорить почти шепотом и не глядя на своего приятеля, -- мы, кажется, идем по разным дорогам... Я даже уверен в этом, -- сказал он, помолчав немножко. -- Наконец, я уверен, что вы меня поняли совершенно, -- довольно строго прибавил он в заключение.

-- Я бы желал, -- проговорил наконец приятель господина Голядкина, -- я бы желал... вы, вероятно, великодушно извините меня... я не знаю, к кому обратиться здесь... мои обстоятельства, -- я надеюсь, что вы извините мне мою дерзость, -- мне даже показалось, что вы, движимые состраданием, принимали во мне сегодня утром участие. С своей стороны, я с первого взгляда почувствовал к вам влечение, я... -- Тут господин Голядкин мысленно пожелал своему новому сослуживцу провалиться сквозь землю. -- Если бы я смел надеяться, что вы, Яков Петрович, меня снисходительно изволите выслушать...

-- Мы -- мы здесь -- мы... лучше пойдете ко мне, -- отвечал господин Голядкин, -- мы теперь перейдем на ту сторону Невского, там нам будет удобнее с вами, а потом переулочком... мы лучше возьмем переулочком.

-- Хорошо-с. Пожалуй, возьмем переулочком-с, -- робко сказал смиренный спутник господина Голядкина, как будто намекая тоном ответа, что где ему разбирать и что, в его положении, он и переулочком готов удовольствоваться. Что же касается до господина Голядкина, то он совершенно не понимал, что с ним делалось. Он не верил себе. Он еще не опомнился от своего изумления.

200

## Глава VII

Опомнился он немного на лестнице, при входе в квартиру свою. "Ах я баран-голова! -- ругнул он себя мысленно, -- ну, куда ж я веду его? Сам я голову в петлю кладу. Что же подумает Петрушка, увидя нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать осмелится? а он подозрителен..." Но уже поздно было раскаиваться; господин Голядкин постучался, дверь открылась, и Петрушка начал снимать шинели с гостя и барина. Господин Голядкин посмотрел вскользь, так только бросил мельком взгляд на Петрушку, стараясь проникнуть в его физиономию и разгадать его мысли. Но, к величайшему своему удивлению, увидел он, что служитель его и не думает удивляться и даже, напротив, словно ждал чего-то подобного. Конечно, он и теперь смотрел волком, косил на сторону и как будто кого-то съесть собирался. "Уж не околдовал ли их кто всех сегодня, -- думал герой наш, -- бес какой-нибудь обещал! Непременно что-нибудь особенное должно быть во всем народе сегодня. Черт возьми, экая мука какая!" Вот всё-то таким образом думая и раздумывая,

господин Голядкин ввел гостя к себе в комнату и пригласил покорно садиться. Гость был в крайнем, по-видимому, замешательстве, очень робел, покорно следил за всеми движениями своего хозяина, ловил его взгляды и по ним, казалось, старался угадать его мысли. Что-то униженное, забитое и запуганное выражалось во всех жестах его, так что он, если позволял сравнение, довольно походил в эту минуту на того человека, который, за неимением своего платья, оделся в чужое: рукава лезут наверх, талия почти на затылке, а он то поминутно оправляет на себе короткий жилетишко, то виляет бочком и сторонится, то норовит куда-нибудь спрятаться, то заглядывает всем в глаза и прислушивается, не говорят ли чего люди о его обстоятельствах, не смеются ли над ним, не стыдятся ли его, -- и краснеет человек, и теряется человек, и страдает амбиция... Господин Голядкин поставил свою шляпу на окно; от неосторожного движения шляпа его слетела на пол. Гость тотчас же бросился ее поднимать, счистил всю пыль, бережно поставил на прежнее место, а свою на полу, возле стула, на краешке которого смиренно сам поместился. Это маленькое обстоятельство открыло отчасти глаза господину Голядкину; понял он, что нужда в нем великая, и потому не стал более затрудняться, как начать с своим гостем, предоставив это всё, как и

201

следовало, ему самому. Гость же, с своей стороны, тоже не начинал ничего, робел ли, стыдился ли немножко, или из учтивости ждал начина хозяйского, -- неизвестно, разобрать было трудно. В это время вошел Петрушка, остановился в дверях и уставился глазами в сторону, совершенно противоположную той, в которой помещались и гость и барин его.

-- Обедать две порции прикажете брать? -- проговорил он небрежно и сиповатым голосом.

-- Я, я не знаю... вы -- да, возьми, брат, две порции.

Петрушка ушел. Господин Голядкин взглянул на своего гостя. Гость его покраснел до ушей. Господин Голядкин был добрый человек и потому, по доброте души своей, тотчас же составил теорию: "Бедный человек, -- думал он, -- да и на месте-то всего один день; в свое время пострадал, вероятно; может быть, только и добра-то, что приличное платьишко, а самому и пообедать-то нечем. Эх его, какой он забитый! Ну, ничего; это отчасти и лучше..."

-- Извините меня, что я, -- начал господин Голядкин, -- впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас?

-- Я... Я... Яков Петровичем, -- почти прошептал гость его, словно совестясь и стыдясь, словно прощения прося в том, что и его зовут тоже Яковом Петровичем.

-- Яков Петрович! -- повторил наш герой, не в силах будучи скрыть своего смущения.

-- Да-с, точно так-с... Тезка вам-с, -- отвечал смиренный гость господина Голядкина, осмеливаясь улыбнуться и сказать что-нибудь пошутливее. Но тут же и оселся назад, приняв вид самый серьезный и немного, впрочем, смущенный, замечая, что хозяину его теперь не до шуточек.

-- Вы... позвольте же вас спросить, по какому случаю имею я честь...

-- Зная ваше великодушие и добродетели ваши, -- быстро, но робким голосом прервал его гость, немного приподымаясь со стула, -- осмелился я обратиться к вам и просить вашего... знакомства и покровительства... -- заключил его гость, очевидно затрудняясь в своих выражениях и выбирая слова не слишком льстивые и унижительные, чтоб не скомпрометировать себя в отношении амбиции, но и не слишком смелые, отзывающиеся неприличным равенством. Вообще можно сказать, что гость господина Голядкина вел себя как благородный нищий в заштопанном фраке и с благородным паспортом в кармане, не напрактиковавшийся еще как следует протягивать руку.

202

-- Вы смущаете меня, -- отвечал господин Голядкин, оглядывая себя, свои стены и гостя, -- чем же я мог бы... я, то есть, хочу сказать, в каком именно отношении могу я вам услужить в чем-нибудь?

-- Я, Яков Петрович, почувствовал к вам влечение с первого взгляда и, простите меня великодушно, на вас понадеялся, -- осмелился понадеяться, Яков Петрович. Я... я человек здесь затерянный, Яков Петрович, бедный, пострадал весьма много, Яков Петрович, и здесь еще внове. Узнав, что вы, при обыкновенных, врожденных вам качествах вашей прекрасной души, однофамилец мой...

Господин Голядкин поморщился.

-- Однофамилец мой и родом из одних со мной мест, решил я обратиться к вам и изложить вам затруднительное мое положение.

-- Хорошо-с, хорошо-с; право, я не знаю, что вам сказать, -- отвечал смущенным голосом господин Голядкин, -- вот, после обеда, мы потолкуем...

Гость поклонился; обед принесли. Петрушка собрал на стол -- и гость вместе с хозяином принялись насыщать себя. Обед продолжался недолго; оба они торопились -- хозяин потому, что был не в обыкновенной тарелке своей, да к тому же и совестился, что обед был дурной, -- совестился же отчасти оттого, что хотелось гостя хорошо покормить, а частью оттого, что хотелось показать, что он не как нищий живет. С своей стороны, гость был в крайнем смущении и крайне конфузился. Взяв один раз хлеба и съев свой ломоть, он уже боялся протягивать руку к другому ломтю, совестился брать кусочки получше и поминутно уверял, что он вовсе не голоден, что обед был прекрасный и что он, с своей стороны, совершенно доволен и по гроб будет чувствовать. Когда еда кончилась, господин Голядкин закурил свою трубочку, предложил другую, заведенную для приятеля, гостю, -- оба уселись друг против друга, и гость начал рассказывать свои приключения.

Рассказ господина Голядкина-младшего продолжался часа три или четыре. История приключений его была, впрочем, составлена из самых пустейших, из самых мизернейших, если можно сказать, обстоятельств. Дело шло о службе где-то в палате в губернии, о прокурорах и председателях, о кое-каких канцелярских интригах, о разврате души одного из повыгчиков, о ревизоре, о внезапной перемене начальства, о том, как господин Голядкин-второй пострадал совершенно безвинно; о престарелой тетушке

203

его, Пелагее Семеновне; о том, как он, по разным интригам врагов своих, места лишился и пешком пришел в Петербург; о том, как он маялся и горе мыкал здесь, в Петербурге, как бесплодно долгое время места искал, прожил, исхарчился, жил чуть не на улице, ел черствый хлеб и запивал его слезами своими, спал на голом полу и, наконец, как кто-то из добрых людей взялся хлопотать о нем, рекомендовал и великодушно к новому месту пристроил. Гость господина Голядкина плакал, рассказывая, и утирал слезы синим клетчатый платком, весьма походившим на клеенку. Заключение же он тем, что открылся вполне господину Голядкину и признался, что ему не только нечем покамест жить и прилично устроиться, но и обмундироваться-то как следует не на что; что вот, включил он, даже на сапожишки не мог сколотиться и что вицмундир взят им у кого-то на подержание на малое время.

Господин Голядкин был в умилении, был истинно тронут. Впрочем, и даже несмотря на то что история его гостя была самая пустая история, все слова этой истории ложились на сердце его, словно манна небесная. Дело в том, что господин Голядкин забывал последние сомнения свои, разрешил свое сердце на свободу и радость и, наконец, мысленно сам себя пожаловал в дураки. Всё было так натурально! И было от чего сокрушаться, бить такую тревогу! Ну, есть, действительно есть одно щекотливое обстоятельство, -- да ведь оно не беда: оно не может замарать человека, амбицию его запятнать и карьеру его загубить, когда не виноват человек, когда сама природа сюда замешалась. К тому же гость просил покровительства, гость плакал, гость судьбу обвинял, казался таким незатейливым, без злобы и хитростей, жалким, ничтожным и, кажется, сам теперь совестился, хотя, может быть, и в другом отношении, странным сходством лица своего с хозяйским лицом. Вел он себя донельзя благонадежно, так и смотрел угодить своему хозяину и смотрел так, как смотрит человек, который терзается угрызениями совести и чувствует, что виноват перед

другим человеком. Заходила ли, например, речь о каком-нибудь сомнительном пункте, гость тотчас же соглашался с мнением господина Голядкина. Если же как-нибудь, по ошибке, заходил мнением своим в контру господину Голядкину и потом замечал, что сбился с дороги, то тотчас же поправлял свою речь, объяснялся и давал немедленно знать, что он всё разумеет точно таким же образом, как хозяин его, мыслит так же, как он, и

204

смотрит на всё совершенно такими же глазами, как и он. Одним словом, гость употреблял всевозможные усилия "найти" в господине Голядкине, так что господин Голядкин решил наконец, что гость его должен быть весьма любезный человек во всех отношениях. Между прочим, подали чай; час был девятый. Господин Голядкин чувствовал себя в прекрасном расположении духа, развеселился, разыгрался, расходился понемножку и пустился наконец в самый живой и занимательный разговор с своим гостем. Господин Голядкин, под веселую руку, любил иногда рассказать что-нибудь интересное. Так и теперь: рассказал гостю много о столице, об увеселениях и красотах ее, о театре, о клубах, о картине Брюллова; о том, как два англичанина приехали нарочно из Англии в Петербург, чтоб посмотреть на решетку Летнего сада, и тотчас уехали; о службе, об Олсуфье Ивановиче и об Андрее Филипповиче; о том, что Россия с часу на час идет к совершенству и что тут

Словесные науки днесь цветут;

об анекдотце, прочитанном недавно в "Северной пчеле", и что в Индии есть змея удав необыкновенной силы; наконец, о бароне Брамбеусе и т. д. и т. д. Словом, господин Голядкин вполне был доволен, во-первых, потому, что был совершенно спокоен; во-вторых, что не только не боялся врагов своих, но даже готов был теперь всех их вызвать на самый решительный бой; в-третьих, что сам своею особою оказывал покровительство и, наконец, делал доброе дело. Сознавался он, впрочем, в душе своей, что еще не совсем счастлив в эту минуту, что сидит в нем еще один червячок, самый маленький впрочем, и точит даже и теперь его сердце. Мучило крайне его воспоминание о вчерашнем вечере у Олсуфья Ивановича. Много бы дал он теперь, если б не было кой-чего из того, что было вчера. "Впрочем, ведь оно ничего!" -- заключил наконец наш герой и решил твердо в душе вести себя вперед хорошо и не впадать в подобные промахи. Так как господин Голядкин теперь расходился вполне и стал вдруг почти совершенно счастлив, то вздумалось ему даже и пожуировать жизнью. Принесен был Петрушкою ром, и составился пунш. Гость и хозяин осушили по стакану и по два. Гость оказался еще любезнее прежнего и с своей стороны показал не одно доказательство прямодушия и счастливого характера своего, сильно входил в удовольствие господина Голядкина,

205

казалось, радовался только одною его радостью и смотрел на него, как на истинного и единственного своего благодетеля. Взяв перо и листочек бумажки, он попросил господина Голядкина не смотреть на то, что он будет писать, и потом, когда кончил, сам показал хозяину своему всё написанное. Оказалось, что это было четверостишие, написанное довольно чувствительно, впрочем прекрасным слогом и почерком, и, как видно, сочинение самого любезного гостя. Стишки были следующие:

Если ты меня забудешь,  
Не забуду я тебя;  
В жизни может всё случиться,  
Не забудь и ты меня!

Со слезами на глазах обнял своего гостя господин Голядкин и, расчувствовавшись наконец вполне, сам посвятил своего гостя в некоторые секреты и тайны свои, причем

речь сильно напиралась на Андрея Филипповича и на Клару Олсуфьевну. "Ну, да ведь мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся, -- говорил наш герой своему гостю, -- мы с тобой, Яков Петрович, будем жить, как рыба с водой, как братья родные; мы, дружище, будем хитрить, заодно хитрить будем; с своей стороны будем интригу вести в пику им... в пику-то им интригу вести. А им-то ты никому не вверяйся. Ведь я тебя знаю, Яков Петрович, и характер твой понимаю; ведь ты как раз всё расскажешь, душа ты правдивая! Ты, брат, сторонись от них всех". Гость вполне соглашался, благодарил господина Голядкина и тоже наконец прослезился. "Ты, знаешь ли, Яша, -- продолжал господин Голядкин дрожащим, расслабленным голосом, -- ты, Яша, поселись у меня на время или навсегда поселись. Мы сойдемся. Что, брат, тебе, а? А ты не смущайся и не ропщи на то, что вот между нами такое странное теперь обстоятельство: роптать, брат, грешно; это природа! А мать-природа щедра, вот что, брат Яша! Любя тебя, братски любя тебя, говорю. А мы с тобой, Яша, будем хитрить и с своей стороны подкопы вести и носы им утрем". Пунш, наконец, дошел до третьих и четвертых стаканов на брата, и тогда господин Голядкин стал испытывать два ощущения: одно то, что необыкновенно счастлив, а другое -- что уже не может стоять на ногах. Гость, разумеется, был приглашен ночевать. Кровать была кое-как составлена из двух рядов стульев. Господин Голядкин-младший объявил, что под дружеским кровом мягко спать и на голом полу, что, с своей стороны, он заснет,

206

где придется, с покорностью и признательностью; что теперь он в раю и что, наконец, он много перенес на своем веку несчастий и горя, на всё посмотрел, всего перетерпел, и -- кто знает будущность? -- может быть, еще перетерпит. Господин Голядкин-старший протестовал против этого и начал доказывать, что нужно возложить всю надежду на бога. Гость вполне соглашался и говорил, что, разумеется, никто таков, как бог. Тут господин Голядкин-старший заметил, что турки правы в некотором отношении, призывая даже во сне имя божие. Потом, не соглашаясь, впрочем, с иными учеными в иных клеветах, взводимых на турецкого пророка Мухаммеда, и признавая его в своем роде великим политиком, господин Голядкин перешел к весьма интересному описанию алжирской цирюльни, о которой читал в какой-то книжке в смеси. Гость и хозяин много смеялись над простодушием турков; впрочем, не могли не отдать должной дани удивления их фанатизму, возбуждаемому опиумом... Гость стал наконец раздеваться, а господин Голядкин вышел за перегородку, частью по доброте души, что, может быть, дескать, у него и рубашки-то порядочной нет, так чтоб не сконфузить и без того уже пострадавшего человека, а частью для того, чтоб увериться по возможности в Петрушке, испытать его, развеселить, если можно, и приласкать человека, чтоб уж все были счастливы и чтоб не оставалось на столе просыпанной соли. Нужно заметить, что Петрушка всё еще немного смущал господина Голядкина.

-- Ты, Петр, ложись теперь спать, -- кротко сказал господин Голядкин, входя в отделение своего служителя, -- ты теперь ложись спать, а завтра в восемь часов ты меня и разбуди. Понимаешь, Петруша?

Господин Голядкин говорил необыкновенно мягко и ласково. Но Петрушка молчал. Он в это время возился около своей кровати и даже не обернулся к своему барину, что бы должен был сделать, впрочем, из одного к нему уважения.

-- Ты, Петр, меня слышал? -- продолжал господин Голядкин. -- Ты вот теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты и разбуди меня в восемь часов; понимаешь?

-- Да уж помню, уж что тут! -- проворчал себе под нос Петрушка.

-- Ну, то-то, Петруша; я это только так говорю, чтоб и ты был спокоен и счастлив. Вот мы теперь все счастливы, так чтоб и ты был спокоен и счастлив. А теперь спокойной

207

ночи желаю тебе. Усни, Петруша, усни; мы все трудиться должны... Ты, брат, знаешь, не думай чего-нибудь...

Господин Голядкин начал было, да и остановился. "Не слишком ли будет, -- подумал он, -- не далеко ли я замахнул? Так-то всегда; всегда-то я пересыплю". Герой наш вышел от Петрушки весьма недовольный собою. К тому же грубостью и неподатливостью Петрушки он немного обиделся. "С шельмецом заигрывают, шельмецу барин честь делает, а он не чувствует, -- подумал господин Голядкин. -- Впрочем, такая уж тенденция подлая у всего этого рода!" Отчасти покачиваясь, воротился он в комнату и, видя, что гость его улегся совсем, присел на минутку к нему на постель. "А ведь признайся, Яша, -- начал он шепотом и курныкая головой, -- ведь ты, подлец, предо мной виноват? ведь ты, тезка, знаешь, того..." -- продолжал он, довольно фамильярно заигрывая с своим гостем. Наконец, распростившись с ним дружески, господин Голядкин отправился спать. Гость между тем захрапел. Господин Голядкин в свою очередь начал ложиться в постель, а между тем, посмеиваясь, шептал про себя: "Ведь ты пьян сегодня, голубчик мой, Яков Петрович, подлец ты такой, Голядка ты этакой, -- фамилья твоя такова!! Ну, чему ты обрадовался? Ведь завтра расплачешься, нюня ты этакая: что мне делать с тобой!" Тут довольно странное ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина, что-то похожее на сомнение или раскаяние. "Расходился ж я, -- думал он, -- ведь вот теперь шумит в голове и я пьян; и не удержался, дурачина ты этакая! и вздору с три короба намолол да еще хитрить, подлец, собирался. Конечно, прощение и забвение обид есть первейшая добродетель, но всё ж оно плохо! вот оно как!" Тут господин Голядкин привстал, взял свечу и на цыпочках еще раз пошел взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он над ним в глубоком раздумье. "Картина неприятная! пасквиль, чистейший пасквиль, да и дело с концом!"

Наконец господин Голядкин улегся совсем. В голове у него шумело, трещало, звонило. Он стал забываться-забываться... силился было о чем-то думать, вспомнить что-то такое весьма интересное, разрешить что-то такое весьма важное, какое-то щекотливое дело, -- но не мог. Сон налетел на его победную голову, и он заснул так, как обыкновенно спят люди, с непривычки употребившие вдруг пять стаканов пунша на какой-нибудь дружеской вечеринке.

208

## Глава VIII

Как обыкновенно, на другой день господин Голядкин проснулся в восемь часов; проснувшись же, тотчас припомнил все происшествия вчерашнего вечера, -- припомнил и поморщился. "Эк я разыгрался вчера каким дураком!" -- подумал он, приподымаясь с постели и взглянув на постель своего гостя. Но каково же было его удивление, когда не только гостя, но даже и постели, на которой спал гость, не было в комнате! "Что ж это такое? -- чуть не вскрикнул господин Голядкин, -- что ж бы это было такое? Что же означает теперь это новое обстоятельство?" Покамест господин Голядкин, недоумевая, с раскрытым ртом смотрел на опустелое место, скрипнула дверь, и Петрушка потел с чайным подносом. "Где же, где же?" -- проговорил чуть слышным голосом наш герой, указывая пальцем на вчерашнее место, отведенное гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего, даже не посмотрел на своего барина, а поворотил свои глаза в угол направо, так что господин Голядкин сам принужден был взглянуть в угол направо. Впрочем, после некоторого молчания Петрушка сиповатым и грубым голосом ответил, "что барина дома нет".

-- Дурак ты; да ведь я твой барин, Петрушка, -- проговорил господин Голядкин прерывистым голосом и во все глаза смотря на своего служителя.

Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина Голядкина, что тот покраснел до ушей, -- посмотрел с какою-то оскорбительною укоризною, похожею на чистую брань. Господин Голядкин и руки опустил, как говорится. Наконец Петрушка

объявил, что другой уж часа с полтора как ушел и не хотел дожидаться. Конечно, ответ был вероятен и правдоподобен; видно было, что Петрушка не лгал, что оскорбительный взгляд его и слово другой, употребленное им, были лишь следствием всего известного гнусного обстоятельства; но все-таки он понимал, хоть и смутно, что тут что-нибудь да не так и что судьба готовит ему еще какой-то гостинец, не совсем-то приятный. "Хорошо, мы посмотрим, -- думал он про себя, -- мы увидим, мы своевременно раскусим всё это... Ах ты, господи боже мой! -- простонал он в заключение уже совсем другим голосом, -- и зачем я это приглашал его, на какой конец я всё это делал? ведь истинно сам голову сую в петлю их воровскую, сам эту петлю свиваю. Ах ты голова, голова! ведь и утерпеть-то не можешь ты,

209

чтоб не провраться, как мальчишка какой-нибудь, канцелярист какой-нибудь, как бесчиновная дрянь какая-нибудь, тряпка, ветошка гнилая какая-нибудь, сплетник ты этакой, баба ты этакая!.. Святые вы мои! И стишки, шельмец, написал и в любви ко мне изъяснился! Как бы этак, того... Как бы ему, шельмецу, приличнее на дверь указать, коли воротится? Разумеется, много есть разных оборотов и способов. Так и так, дескать, при моем ограниченном жалованье... Или там припугнуть его как-нибудь, что, дескать, взяв в соображение вот то-то и то-то, принужден изъясниться... дескать, нужно в половине платить за квартиру и стол и деньги вперед отдавать. Гм! нет, черт возьми, нет! Это меня замарают. Оно не совсем деликатно! Разве как-нибудь там вот этак бы сделать: взять бы да и надоумить Петрушку, чтоб Петрушка ему насолил как-нибудь, неглижировал бы с ним как-нибудь, сгрубил ему, да и выжить его таким образом? Стравить бы их этак вместе... Нет, черт возьми, нет! Это опасно, да и опять, если с этакой точки зренья смотреть -- ну, да вовсе нехорошо! Совсем нехорошо! А ну, если он не придет? и это плохо будет? проврался я ему вчера вечером!.. Эх, плохо, плохо! Эх, дело-то наше как плоховато! Ах я голова, голова окаянная! взубрить-то ты чего следует не можешь себе, резону-то вгвоздить туда не можешь себе! Ну, как он придет и откажется? А дай-то господи, если б пришел! Весьма был бы рад я, если б пришел он; много бы дал я, если б пришел..." Так рассуждал господин Голядкин, глотая свой чай и беспрестанно поглядывая на стенные часы. "Без четверти девять теперь; ведь вот уж пора идти. А что-то будет такое; что-то тут будет? Желал бы я знать, что здесь именно особенного такого скрывается, -- этак цель, направление и разные там закавыки. Хорошо бы узнать, на что именно метят все эти народы и каков-то будет их первый шаг..." Господин Голядкин не мог долее вытерпеть, бросил недокуренную трубку, оделся и пустился на службу, желая накрыть, если можно, опасность и во всем удостовериться своим личным присутствием. А опасность была: это уж он сам знал, что опасность была. "А вот мы ее... и раскусим, -- говорил господин Голядкин, снимая шинель и калоши в передней, -- вот мы и проникнем сейчас во все эти дела". Решившись, таким образом, действовать, герой наш оправился, принял вид приличный и форменный и только что хотел было проникнуть в соседнюю комнату, как вдруг, в самых дверях, столкнулся с ним вчерашний знакомец, друг и приятель

210

его. Господин Голядкин-младший, кажется, не замечал господина Голядкина-старшего, хотя и сошелся с ним почти носом к носу. Господин Голядкин-младший был, кажется, занят, куда-то спешил, запыхался; вид имел такой официальный, такой деловой, что, казалось, всякий мог прямо прочесть на лице его -- "командирован по особому поручению..."

-- Ах, это вы, Яков Петрович! -- сказал наш герой, хватая своего вчерашнего гостя за руку.

-- После, после, извините меня, расскажете после, -- закричал господин Голядкин-младший, порываясь вперед.

-- Однако позвольте; вы, кажется, хотели, Яков Петрович, того-с...

-- Что-с? Объясните скорее-с. --Тут вчерашний гость господина Голядкина остановился как бы через силу и нехотя и подставил ухо свое прямо к носу господина Голядкина.

-- Я вам скажу, Яков Петрович, что я удивляюсь приему... приему, какого вовсе, по-видимому, не мог бы я ожидать.

-- На всё есть известная форма-с. Явитесь к секретарю его превосходительства и потом отнесите, как следует, к господину правителю канцелярии. Просьба есть?..

-- Вы, я не знаю, Яков Петрович! вы меня просто изумляете, Яков Петрович! вы, верно, не узнаете меня или шутите, по врожденной веселости характера вашего.

-- А, это вы! -- сказал господин Голядкин-младший, как будто только что сейчас разглядев господина Голядкина-старшего, -- так это вы? Ну, что ж, хорошо ли вы почивали? -- Тут господин Голядкин-младший, улыбнувшись немного, -- официально и форменно улыбнувшись, хотя вовсе не так, как бы следовало (потому что ведь во всяком случае он одолжен же был благодарностью господину Голядкину-старшему), -- итак, улыбнувшись официально и форменно, прибавил, что он с своей стороны весьма рад, что господин Голядкин хорошо почивал; потом наклонился немного, посеменил немного на месте, поглядел направо, налево, потом опустил глаза в землю, нацелился в боковую дверь и, прошептав скороговоркой, что он по особому поручению, юркнул в соседнюю комнату. Только его и видели.

-- Вот-те и штука!.. -- прошептал наш герой, остолбенев на мгновение, -- вот-те и штука! Так вот такое-то здесь обстоятельство!.. -- Тут господин Голядкин почувствовал,

211

что у него отчего-то заходили мурашки по телу. -- Впрочем, -- продолжал он про себя, пробираясь в свое отделение, -- впрочем, ведь я уже давно говорил о таком обстоятельстве; я уже давно предчувствовал, что он по особому поручению, -- именно вот вчера говорил, что непременно по чьему-нибудь особому поручению употреблен человек...

-- Окончили вы, Яков Петрович, вчерашнюю вашу бумагу? -- спросил Антон Антонович Сеточкин усевшегося подле него господина Голядкина. -- У вас здесь она?

-- Здесь, -- прошептал господин Голядкин, смотря на своего столоначальника отчасти с потерявшимся видом.

-- То-то-с. Я к тому говорю, что Андрей Филиппович уже два раза спрашивал. Того и гляди, что его превосходительство потребует...

-- Нет-с, она кончена-с...

-- Ну-с, хорошо-с.

-- Я, Антон Антонович, всегда, кажется, исполнял свою должность как следует и радею о порученных мне начальством делах-с, занимаюсь ими рачительно.

-- Да-с. Ну-с, что же вы хотите этим сказать-с?

-- Я ничего-с, Антон Антонович. Я только, Антон Антонович, хочу объяснить, что я... то есть я хотел выразить, что иногда неблагонамеренность и зависть не щадят никакого лица, ища своей повседневной отвратительной пицци-с...

-- Извините, я вас не совсем-то понимаю. То есть на какое лицо вы теперь намекаете?

-- То есть я хотел только сказать, Антон Антонович, что я иду прямым путем, а окольным путем ходить презираю, что я не интригант и что сим, если позволено только будет мне выразиться, могу весьма справедливо гордиться...

-- Да-с. Это всё так-с, и, по крайнему моему разумению, отдаю полную справедливость рассуждению вашему; но позвольте же и мне вам, Яков Петрович, заметить, что личности в хорошем обществе не совсем позволительны-с; что за глаза я, например, готов снести, --потому что за глаза и кого ж не бранят! -- но в глаза, воля ваша, и я, сударь мой, например, себе дерзостей говорить не позволю. Я, сударь мой, поседел на государственной службе и дерзостей на старости лет говорить себе не позволю-с...

-- Нет-с, я, Антон Антонович-с, вы, видите ли, Антон Антонович, вы, кажется, Антон Антонович, меня не совсем-то

212

уразумели-с. А я, помилуйте, Антон Антонович, я с своей стороны могу только за честь поставить-с...

-- Да уж и нас тоже прошу извинить-с. Учены мы по-старинному-с. А по-вашему, по-новому, учиться нам поздно. На службе отечеству разумения доселе нам, кажется, доставало. У меня, сударь мой, как вы сами знаете, есть знак за двадцатилетнюю беспорочную службу-с...

-- Я чувствую, Антон Антонович, я с моей стороны совершенно всё это чувствую-с. Но я не про то-с, я про маску говорил, Антон Антонович-с...

-- Про маску-с?

-- То есть вы опять... я опасаюсь, что вы и тут примете в другую сторону смысл, то есть смысл речей моих, как вы сами говорите, Антон Антонович. Я только тему развиваю, то есть пропускаю идею, Антон Антонович, что люди, носящие маску, стали не редки-с и что теперь трудно под маской узнать человека-с...

-- Ну-с, знаете ли-с, оно не совсем-то и трудно-с. Иногда и довольно легко-с, иногда и искать недалеко нужно ходить-с.

-- Нет-с, знаете ли-с, я, Антон Антонович, говорю-с, про себя говорю, что я, например, маску надеваю, лишь когда нужда в ней бывает, то есть единственно для карнавала и веселых собраний, говоря в прямом смысле, но что не маскируюсь перед людьми каждодневно, говоря в другом, более скрытном смысле-с. Вот что я хотел сказать, Антон Антонович-с.

-- Ну, да мы покамест оставим всё это, да мне же и некогда-с, -- сказал Антон Антонович, привстав с своего места и собирая кой-какие бумаги для доклада его превосходительству. -- Дело же ваше, как я полагаю, не замедлит своевременно объясниться. Сами же увидите вы, на кого вам пенять и кого обвинять, а затем прошу вас покорнейше уволить меня от дальнейших частных и вредящих службе объяснений и толков-с...

-- Нет-с, я, Антон Антонович, -- начал побледневший немного господин Голядкин вслед удаляющемуся Антону Антоновичу, -- я, Антон Антонович, того-с, и не думал-с. "Что же это такое? -- продолжал уже про себя наш герой, оставшись один. -- Что же это за ветры такие здесь подувают и что означает этот новый крючок?" В то самое время, как потерянный и полуубитый герой наш готовился было разрешить этот новый вопрос, в соседней комнате послышался шум, обнаружилось какое-то деловое движение,

213

дверь отворилась, и Андрей Филиппович, только что перед тем отлучившийся по делам в кабинет его превосходительства, запыхавшись, появился в дверях и крикнул господина Голядкина. Зная в чем дело и не желая заставить ждать Андрея Филипповича, господин Голядкин вскочил с своего места и, как следует, немедленно засуетился на чем свет стоит, обготовляя и обхаливая окончательно требуемую тетрадку, да и сам приготавливаясь отправиться, вслед за тетрадкой и Андреем Филипповичем, в кабинет его превосходительства. Вдруг, и почти из-под руки Андрея Филипповича, стоявшего в то время в самых дверях, юркнул в комнату господин Голядкин-младший, суетясь, запыхавшись, загонявшись на службе, с важным решительно-форменным видом, и прямо подкатился к господину Голядкину-старшему, менее всего ожидавшему подобного нападения...

-- Бумаги, Яков Петрович, бумаги... его превосходительство изволили спрашивать, готовы ль у вас? -- зашебетал вполголоса и скороговоркой приятель господина Голядкина-старшего. -- Андрей Филиппович вас ожидает...

-- Знаю и без вас, что ожидают, -- проговорил господин Голядкин-старший тоже скороговоркой и шепотом.

-- Нет, я, Яков Петрович, не то; я, Яков Петрович, совсем не то; я сочувствую, Яков Петрович, и подвигнут душевным участием.

-- От которого нижайше прошу вас избавить меня. Позвольте, позвольте-с...

-- Вы, разумеется, их обернете оберточкой, Яков Петрович, а третью-то страничку вы заложите закладкой, позвольте, Яков Петрович...

-- Да позвольте же вы, наконец...

-- Но ведь здесь чернильное пятнышко, Яков Петрович, вы заметили ль чернильное пятнышко?..

Тут Андрей Филиппович второй раз кликнул господина Голядкина.

214

-- Сейчас, Андрей Филиппович; я вот только немножко, вот здесь... Милостивый государь, понимаете ли вы русский язык?

-- Лучше всего будет ножичком снять, Яков Петрович, вы лучше на меня положитесь: вы лучше не трогайте сами, Яков Петрович, а на меня положитесь, -- я же отчасти тут ножичком..

Андрей Филиппович третий раз кликнул господина Голядкина.

-- Да, помилуйте, где же тут пятнышко? Ведь, кажется, вовсе нету здесь пятнышка?

-- И огромное пятнышко, вот оно! вот, позвольте, я здесь его видел; вот, позвольте... вы только позвольте мне, Яков Петрович, я отчасти здесь ножичком, я из участия, Яков Петрович, и ножичком от чистого сердца... вот так, вот и дело с концом...

Тут, и совсем неожиданно, господин Голядкин-младший, вдруг ни с того ни с сего, осилив господина Голядкина-старшего в мгновенной борьбе, между ними возникшей, и во всяком случае совершенно против воли его, овладел требуемой начальством бумагой и, вместо того чтоб поскоблить ее ножичком от чистого сердца, как вероломно уверял он господина Голядкина-старшего, -- быстро свернул ее, сунул под мышку, в два скачка очутился возле Андрея Филипповича, не заметившего ни одной из проделок его, и полетел с ним в директорский кабинет. Господин Голядкин-старший остался как бы прикованным к месту, держа в руках ножичек и как будто приготавливаясь что-то скоблить им...

Герой наш еще не совсем понимал свое новое обстоятельство. Он еще не опомнился. Он почувствовал удар, но думал, что это что-нибудь так. В страшной, неописанной тоске сорвался он наконец с места и бросился прямо в директорский кабинет, моля, впрочем, небо дорогою, чтоб это устроилось всё как-нибудь к лучшему и было бы так, ничего... В последней комнате перед директорским кабинетом сбежался он, прямо нос с носом, с Андреем Филипповичем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались: господин Голядкин посторонился. Андрей Филиппович говорил улыбаясь и весело. Однофамилец господина Голядкина-старшего тоже улыбался, юлил, семеня в почтительном расстоянии от Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным образом кивал головою. Разом понял герой наш всё положение дел. Дело в том, что работа его (как он после узнал) почти превзошла ожидания его превосходительства и поспела действительно к сроку и вовремя. Его превосходительство были крайне довольны. Говорили даже, что его превосходительство сказали спасибо господину Голядкину-младшему, крепкое спасибо; сказали, что вспомнят при случае и никак не забудут... Разумеется, что первым делом господина Голядкина было протестовать, протестовать всеми силами,

215

до последней возможности. Почти не помня себя и бледный как смерть, бросился он к Андрею Филипповичу. Но Андрей Филиппович, услышав, что дело господина Голядкина было частное дело, отказался слушать, решительно замечая, что у него нет ни минуты свободной и для собственных надобностей.

Сухость тона и резкость отказа поразили господина Голядкина. "А вот лучше я как-нибудь с другой стороны... вот я лучше к Антону Антоновичу". К несчастью господина Голядкина, и Антона Антоновича не оказалось в наличии: он тоже где-то был чем-то занят. "А ведь не без намерения просил уволить себя от объяснений и толков! -- подумал герой наш. -- Вот куда метил -- старая петля! В таком случае я просто дерзну умолять его превосходительство".

Всё еще бледный и чувствуя в совершенном разброде всю свою голову, крепко недоумевая, на что именно нужно решиться, присел господин Голядкин на стул. "Гораздо было бы лучше, если б всё это было лишь так только, -- непрерывно думал он про себя. -- Действительно, подобное темное дело было даже невероятно совсем. Это, во-первых, и вздор, а во-вторых, и случиться не может. Это, вероятно, как-нибудь там померещилось, или вышло что-нибудь другое, а не то, что действительно было; или, верно, это я сам ходил... и себя как-нибудь там принял совсем за другого... одним словом, это совершенно невозможное дело".

Только что господин Голядкин решил, что это совсем невозможное дело, как вдруг в комнату влетел господин Голядкин-младший с бумагами в обеих руках и под мышкой. Сказав мимоходом какие-то нужные два слова Андрею Филипповичу, перемолвив и еще кое с кем, полюбезничав кое с кем, пофамильярничав кое с кем, господин Голядкин-младший, по-видимому не имевший лишнего времени на бесполезную трату, собирался уже, кажется, выйти из комнаты, но, к счастью господина Голядкина-старшего, остановился в самых дверях и заговорил мимоходом с двумя или тремя случившимися тут же молодыми чиновниками. Господин Голядкин-старший бросился прямо к нему. Только что увидел господин Голядкин-младший маневр господина Голядкина-старшего, тотчас же начал с большим беспокойством осматриваться, куда бы ему поскорей улизнуть. Но герой наш уже держался за рукава своего вчерашнего гостя. Чиновники, окружавшие двух

216

титулярных советников, расступились и с любопытством ожидали, что будет. Старый титулярный советник понимал хорошо, что доброе мнение теперь не на его стороне, понимал хорошо, что под него интригуют: тем более нужно было теперь поддержать себя. Минута была решительная.

-- Ну-с? -- проговорил господин Голядкин-младший, довольно дерзко смотря на господина Голядкина-старшего.

Господин Голядкин-старший едва дышал.

-- Я не знаю, милостивый государь, -- начал он, -- каким образом вам теперь объяснить странность вашего поведения со мною.

-- Ну-с. Продолжайте-с. -- Тут господин Голядкин-младший оглянулся кругом и мигнул глазом окружавшим их чиновникам, как бы давая знать, что вот именно сейчас и начнется комедия.

-- Дерзость и бесстыдство ваших приемов, милостивый государь мой, со мною в настоящем случае еще более вас обличают... чем все слова мои. Не надейтесь на вашу игру: она плоховата...

-- Ну, Яков Петрович, теперь скажите-ка мне, каково-то вы почивали? -- отвечал Голядкин-младший, прямо смотря в глаза господину Голядкину-старшему.

-- Вы, милостивый государь, забываетесь, -- сказал совершенно потерявшийся титулярный советник, едва слыша пол под собою, -- я надеюсь, что вы перемените тон...

-- Душка мой!! -- проговорил господин Голядкин-младший, скорчив довольно неблагопристойную гримасу господину Голядкину-старшему, и вдруг, совсем неожиданно, под видом ласкательства, ухватил его двумя пальцами за довольно пухлую правую щеку. Герой наш вспыхнул как огонь... Только что приятель господина Голядкина-старшего приметил, что противник его, трясясь всеми членами, немой от исступления, красный как рак и, наконец, доведенный до последних границ, может даже решиться "а формальное нападение, то немедленно, и самым бесстыдным образом, предупредил его в свою очередь. Потрепав его еще раза два по щеке, пощекотав его еще раза два, поиграв с ним, неподвижным и обезумевшим от бешенства, еще несколько секунд таким образом, к немалой утехе окружающей их молодежи, господин Голядкин-младший с возмущающим душу бесстыдством щелкнул окончательно господина Голядкина-старшего по крутому

217

брюшку и с самой ядовитой и далеко намекающей улыбкой проговорил ему: "Шалишь, братец, Яков Петрович, шалишь! хитрить мы будем с тобой, Яков Петрович, хитрить". Потом, и прежде чем герой наш успел мало-мальски прийти в себя от последней атаки, господин Голядкин-младший вдруг (предварительно отпустив только улыбочку окружавшим их зрителям) принял на себя вид самый занятой, самый деловой, самый форменный, опустил глаза в землю, съежился, сжался и, быстро проговорив "по особому поручению", лягнул своей коротенькой ножкой и шмыгнул в соседнюю комнату. Герой наш не верил глазам и всё еще был не в состоянии опомниться...

Наконец он опомнился. Сознав в один миг, что погиб, уничтожился в некотором смысле, что замарал себя и запачкал свою репутацию, что осмеян и оплеван в присутствии посторонних лиц, что предательски поруган тем, кого еще вчера считал первейшим и надежнейшим другом своим, что срезался, наконец, на чем свет стоит, -- господин Голядкин бросился в погоню за своим неприятелем. В настоящее мгновение он уже и думать не хотел о свидетелях своего поругания. "Это всё в стачке друг с другом, -- говорил он сам про себя, -- один за другого стоит и один другого на меня натравляет". Однако ж, сделав десять шагов, герой наш ясно увидел, что все преследования остались пустыми и тщетными, и потому воротился. "Не уйдешь, -- думал он, -- попадешь под сюркуп своевременно, отольются волку овечьи слезы". С яростным хладнокровием и с самою энергической решимостью дошел господин Голядкин до стула и уселся на нем. "Не уйдешь!" -- сказал он опять. Теперь дело шло не о пассивной обороне какой-нибудь: пахло решительным, наступательным, и кто видел господина Голядкина в ту минуту, как он, краснея и едва сдерживая волнение свое, кольнул пером в чернильницу и с какой яростью принялся строчить на бумаге, тот мог уже заранее решить, что дело так не пройдет и простым каким-нибудь бабьим образом не может окончиться. В глубине души своей сложил он одно решение и в глубине сердца своего поклялся исполнить его. По правде-то, он еще не совсем хорошо знал, как ему поступить, то есть, лучше сказать, вовсе не знал; но всё равно, ничего! "А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством,

218

обманув слепой народ, да и то ненадолго". Несмотря на это последнее обстоятельство, господин Голядкин положил ждать до тех пор, покамест маска спадет с некоторых лиц и кое-что обнажится. Для сего нужно было, во-первых, чтоб кончились как можно скорее часы присутствия, а до тех пор герой наш положил не предпринимать ничего. Потом же, когда кончатся часы присутствия, он примет меру одну. Тогда же он знает, как ему поступить, приняв эту меру, как расположить весь план своих действий, чтоб сокрушить рог гордыни и раздавить змею, грызущую прах в презрении бессилия. Позволить же затереть себя, как ветошку, об которую грязные сапоги обтирают, господин Голядкин не мог. Согласиться на это не мог он, и особенно в настоящем случае. Не будь последнего посрамления, герой наш, может быть, и решился бы скрепить свое сердце, может быть, он и решился бы смолчать, покориться и не протестовать слишком упорно; так, поспорил бы, попретендовал бы немножко, доказал бы, что он в своем праве, потом бы уступил немножко, потом, может быть, и еще немножко бы уступил, потом согласился бы совсем, потом, и особенно тогда, когда противная сторона признала бы торжественно, что он в своем праве, потом, может быть, и помирился бы даже, даже умилился бы немножко, даже, -- кто бы мог знать, -- может быть, возродилась бы новая дружба, крепкая, жаркая дружба, еще более широкая, чем вчерашняя дружба, так что эта дружба совершенно могла бы затмить, наконец, неприятность довольно неблагопристойного сходства двух лиц, так, что оба титулярные советника были бы крайне как рады и прожили бы, наконец, до ста лет и т. д. Скажем всё, наконец: господин Голядкин даже начинал немного раскаиваться, что вступился за себя и за право свое и тут же получил за то неприятность. "Покорись он, --

думал господин Голядкин, -- скажи, что пошутил, -- простил бы ему, даже более простил бы ему, только бы в этом громко признался. Но, как ветошку, себя затырать я не дам. И не таким людям не давал я себя затырать, тем более не позволю покуситься на это человеку развращенному. Я не ветошка; я, сударь мой, не ветошка!" Одним словом, герой наш решил. "Сами вы, сударь вы мой, виноваты!" Решился же он протестовать, и протестовать всеми силами, до последней возможности. Такой уж был человек! Позволить обидеть себя он никак не мог согласиться, а тем более позволить себя затереть, как ветошку, и, наконец, позволить это совсем

219

развращенному человеку. Не спорим, впрочем, не спорим. Может быть, если б кто захотел, если б уж кому, например, вот так непременно захотелось обратиться в ветошку господина Голядкина, то и обратил бы, обратил бы без сопротивления и безнаказанно (господин Голядкин сам в иной раз это чувствовал), и вышла бы ветошка, а не Голядкин, -- так, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта была бы с амбицией, ветошка-то эта была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с безответной амбицией и с безответными чувствами и далеко в грязных складках этой ветошки скрытыми, но все-таки с чувствами...

Часы длились невероятно долго; наконец пробило четыре. Спустя немного все встали и вслед за начальником двинулись к себе, по домам. Господин Голядкин вмешался в толпу; глаз его не дремал и не упускал кого нужно из виду. Наконец наш герой увидел, что приятель его подбежал к канцелярским сторожам, раздававшим шинели, и, по подлому обыкновению своему, юлит около них в ожидании своей. Минута была решительная. Как протеснился господин Голядкин сквозь толпу и, не желая отставать, тоже захлопотал о шинели. Но шинель подалась сперва приятелю и другу господина Голядкина, затем что и здесь успел он по-своему подбиться, приласкаться, нашептать и наподличать.

Накинув шинель, господин Голядкин-младший иронически взглянул на господина Голядкина-старшего, действуя, таким образом, открыто и дерзко ему в пику, потом, с свойственной ему наглостью, осмотрелся кругом, посеменял окончательно, -- вероятно чтоб оставить выгодное по себе впечатление, -- около чиновников, сказал словцо одному, пошептался о чем-то с другим, почтительно полизался с третьим, адресовал улыбку четвертому, дал руку пятому и весело юркнул вниз по лестнице. Господин Голядкин-старший за ним и, к неопisanному своему удовольствию, таки нагнал его на последней ступеньке и схватил за воротник его шинели. Казалось, что господин Голядкин младший немного оторопел и посмотрел кругом с потерянным видом.

-- Как понимать мне вас? -- прошептал он наконец слабым голосом господину Голядкину.

-- Милостивый государь, если вы только благородный человек, то надеюсь, что вспомните про вчерашние дружеские наши сношения, -- проговорил наш герой.

220

-- А, да. Ну, что ж? хорошо ли вы почивали-с? Бешенство отняло на минуту язык у господина Голядкина-старшего.

-- Я-то почивал хорошо-с... Но позвольте же и вам сказать, милостивый мой государь, что игра ваша крайне запутана...

-- Кто это говорит? Это враги мои говорят, -- отвечал отрывисто тот, кто называл себя господином Голядкиным, и вместе с словом этим неожиданно освободился из слабых рук настоящего господина Голядкина. Освободившись, он бросился с лестницы, оглянулся кругом, увидев извозчика, подбежал к нему, сел на дрожки и в одно мгновение скрылся из глаз господина Голядкина-старшего. Отчаянный и покинутый всеми титулярный советник оглянулся кругом, но не было другого извозчика. Попробовал было он бежать, да ноги подламывались. С опрокинутой физиономией, с разинутым ртом, уничтожившись, съездившись, в бессилии прислонился он к фонарному столбу и остался несколько минут таким образом посреди тротуара. Казалось, что всё погибло для господина Голядкина...

## Глава IX

Всё, по-видимому, и даже природа сама, вооружилось против господина Голядкина; но он еще был на ногах и не побежден; он это чувствовал, что не побежден. Он готов был бороться. Он с таким чувством и с такою энергией потер себе руки, когда очнулся после первого изумления, что уже по одному виду господина Голядкина заключить можно было, что он не уступит. Впрочем, опасность была на носу, была очевидна; господин Голядкин и это чувствовал; да как за нее взяться, за эту опасность-то? вот вопрос. Даже на мгновение мелькнула мысль в голове господина Голядкина, "что, дескать, не оставить ли всё это так, не отступить ли запросто? Ну, что ж? ну, и ничего. Я буду особо, как будто не я, -- думал господин Голядкин, -- пропускаю всё мимо; не я, да и только; он тоже особо, авось и отступится; поюлит, шельмец, поюлит, повертится, да и отступится. Вот оно как! Я смириением возьму. Да и где же опасность? ну, какая опасность? Желал бы я, чтоб кто-нибудь указал мне в этом деле опасность? Плевое дело! обыкновенное дело!.." Здесь господин Голядкин осекся. Слова у него на языке замерли; он даже ругнул себя за

221

эту мысль; даже тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль; однако дело его все-таки не двинулось с места. Чувствовал он, что решиться на что-нибудь в настоящую минуту было для него сущою необходимостью; даже чувствовал, что много бы дал тому, кто сказал бы ему, на что именно нужно решиться. Ну, да ведь как угадать? Впрочем, и некогда было угадывать. На всякий случай, чтоб времени не терять, нанял он извозчика и полетел домой. "Что? каково-то ты теперь себя чувствуешь? -- подумал он сам в себе. -- Каково-то вы себя теперь изволите чувствовать, Яков Петрович? Что-то ты сделаешь? Что-то сделаешь ты теперь, подлец ты такой, шельмец ты такой! Довел себя до последнего, да и плачешь теперь, да и хнычешь теперь!" Так поддразнивал себя господин Голядкин, подпрыгивая на тряском экипаже своего ваньки. Поддразнивать себя и растревлять таким образом свои раны в настоящую минуту было каким-то глубоким наслаждением для господина Голядкина, даже чуть ли не сладострастием. "Ну, если б там теперь, -- думал он, -- волшебник какой бы пришел, или официальным образом как-нибудь этак пришлось, да сказали бы: дай, Голядкин, палец с правой руки -- и квиты с тобой; не будет другого Голядкина, и ты будешь счастлив, только пальца не будет, -- так отдал бы палец, непременно бы отдал, не поморщась бы отдал. Черти бы взяли всё это! -- вскрикнул, наконец, отчаянный титулярный советник, -- ну, зачем всё это? Ну, надобно было всему этому быть; вот непременно этому, вот именно этому, как будто нельзя было другому чему! И всё было хорошо сначала, все были довольны и счастливы; так вот нет же, надобно было! Впрочем, ведь словами ничего не возьмешь. Нужно действовать".

Итак, почти решившись на что-то, господин Голядкин, войдя в свою квартиру, нимало не медля схватился за трубку и, насысывая ее из всех сил, раскидывая клочья дыма направо и налево, начал в чрезвычайном волнении бегать взад и вперед по комнате. Между тем Петрушка стал собирать на стол. Наконец господин Голядкин решил совсем, вдруг бросил трубку, накинул на себя шинель, сказал, что дома обедать не будет, и выбежал вон из квартиры. На лестнице нагнал его, запыхавшись, Петрушка, держа в руках забытую им шляпу. Господин Голядкин взял шляпу, хотел было мимоходом маленько оправдаться в глазах Петрушки, чтоб не подумал чего Петрушка особенного, -- что вот, дескать, такое-то обстоятельство, что вот

222

шляпу позабыл и т. д., -- но так как Петрушка и глядеть не хотел и тотчас ушел, то и господин Голядкин без дальнейших объяснений надел свою шляпу, сбежал с лестницы и, приговаривая, что всё, может быть, к лучшему будет и что дело устроится как-нибудь, хотя чувствовал, между прочим, даже у себя в пятках озноб, вышел на улицу, нанял извозчика и

полетел к Андрею Филипповичу. "Впрочем, не лучше ли завтра? -- думал господин Голядкин, хватаясь за шнурок колокольчика у дверей квартиры Андрея Филипповича, -- да и что же я скажу особенного? Особенного-то здесь нет ничего. Дело-то такое мизерное, да оно, наконец, и действительно мизерное, плевое, то есть почти плевое дело... ведь вот оно, как это всё, обстоятельство-то..." Вдруг господин Голядкин дернул за колокольчик; колокольчик зазвенел, изнутри послышались чьи-то шаги... Тут господин Голядкин даже проклял себя, отчасти за свою поспешность и дерзость. Недавние неприятности, о которых господин Голядкин едва не позабыл за делами, и контра с Андреем Филипповичем тут же пришли ему на память. Но уже бежать было поздно: дверь отворилась. К счастью господина Голядкина, отвечали ему, что Андрей Филиппович и домой не приезжал из должности, и не обедает дома. "Знаю, где он обедает: он у Измайловского моста обедает", -- подумал герой наш и страх как обрадовался. На вопрос слуги, как об вас доложить, сказал, что, дескать, я, мой друг, хорошо, что, дескать, я, мой друг, после. и даже с некоторою бодростью сбежал вниз по лестнице. Выйдя на улицу, он решил отпустить экипаж и расплатился с извозчиком. Когда же извозчик попросил о прибавке, -- дескать, ждал, сударь, долго и рысачка для вашей милости не жалел, -- то дал и прибавочки пятак, и даже с большою охотою; сам же пешком пошел.

"Дело-то оно, правда, такое, -- думал господин Голядкин, -- что ведь так оставить нельзя; однако ж, если так рассудить, этак здраво рассудить, так из чего же по-настоящему здесь хлопотать? Ну, нет, однако ж, я буду всё про то говорить, из чего же мне хлопотать? из чего мне маяться, биться, мучиться, себя убивать? Во-первых, дело сделано, и его не воротишь... ведь не воротишь! Рассудим так: является человек, -- является человек с достаточной рекомендацией, дескать, способный чиновник, хорошего поведения, только беден и потерпел разные неприятности, -- передраги там этакие, -- ну, да ведь бедность не порок; стало быть, я в стороне. Ну, в самом деле, что ж

223

за вздор такой? Ну, пришелся, устроился, самой природой устроился так человек, что две капли воды похож на другого человека, что совершенная копия с другого человека: так уж его за это и не принимать в департамент?! Коли уж судьба, коли одна судьба, коли одна слепая фортуна тут виновата, -- так уж его и затереть, как ветошку, так уж и служить ему не давать... да где же тут после этого справедливость будет? Человек же он бедный, затерянный, запуганный; тут сердце болит, тут сострадание его призреть велит! Да! нечего сказать, хороши бы были начальники, если б так рассуждали, как я, забубенная голова! Эка ведь башка у меня! На десятерых подчас глупости хватит! Нет, нет! и сделали хорошо, и спасибо им, что призрели бедного горемыку... Ну, да, положим, например, что мы близнецы, что вот уж мы так уродились, что братья-близнецы, да и только, -- вот оно как! Ну, что же такое? Ну, и ничего! Можно всех чиновников приучить... а посторонний кто, войдя в наше ведомство, уж верно не нашел бы ничего неприличного и оскорбительного в таком обстоятельстве. Оно даже тут есть кое-что умиленное; что вот, дескать, мысль-то какая: что, дескать, промысл божий создал двух совершенно подобных, а начальство благодетельное, видя промысл божий, приютило двух близнецов. Оно, конечно, -- продолжал господин Голядкин, переводя дух и немного понизив голос, -- оно, конечно... оно, конечно, лучше бы было, кабы не было ничего этого, умиленного, и близнецов никаких тоже бы не было... Черт бы побрал всё это! И на что это нужно было? И что за надобность тут была такая особенная и никакого отлагательства не терпящая?! Господи бог мой! Эк ведь черти заварили кашу какую! Вот ведь, однако ж, у него и характер такой, нрава он такого игривого, скверного, -- подлец он такой, вертлявый такой, лизун, лизоблюд, Голядкин он этакой! Пожалуй, еще дурно себя поведет да фамилию мою замазает, мерзавец. Вот теперь и смотри за ним и ухаживай! Эк ведь наказание какое! Впрочем, что ж? ну, и нужды нет! Ну, он подлец, -- ну, пусть он подлец, а другой зато честный. Ну, вот он подлец будет, а я буду честный, -- и скажут, что в этот Голядкин подлец, на него не смотрите и его с другим не мешайте; а этот вот честный,

добродетельный, кроткий, незлобивый, весьма надежный по службе и к повышению чином достойный; вот оно как! Ну, хорошо... а как, того... А как они там, того... да и перемешают! От него ведь всё станется! Ах ты, господи боже мой!.. И подменит человека,  
224

подменит, подлец такой, -- как ветошку человека подменит и не рассудит, что человек не ветошка. Ах ты, господи боже мой! Эко несчастье какое!.."

Вот таким-то образом рассуждая и сетуя, бежал господин Голядкин, не разбирая дороги и сам почти не зная куда. Очнулся он на Невском проспекте, и то по тому только случаю, что столкнулся с каким-то прохожим так ловко и плотно, что только искры посыпались. Господин Голядкин, не поднимая головы, пробормотал извинение, и только тогда, когда прохожий, проворчав что-то не слишком лестное, отошел уже на расстояние значительное, поднял нос кверху и осмотрелся, где он и как. Осмотревшись и заметив, что находится именно возле того ресторана, в котором отдыхал, приготавливаясь к званому обеду у Олсуфия Ивановича, герой наш почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку, вспомнил, что не обедал, званого же обеда не предстояло нигде, и потому, дорогого своего времени не теряя, вбежал он вверх по лестнице в ресторан перехватить что-нибудь поскорее и как можно торопясь не замешкать. И хотя в ресторане было всё дорогонько, но это маленькое обстоятельство не остановило на этот раз господина Голядкина; да и останавливаться-то теперь на подобных безделицах некогда было. В ярко освещенной комнате, у прилавка, на котором лежала разнообразная груда всего того, что потребляется на закуску людьми порядочными, стояла довольно густая толпа посетителей. Конторщик едва успевал наливать, отпускать, сдавать и принимать деньги. Господин Голядкин подождал своей очереди и, выждав, скромно протянул свою руку к пирожку-расстегайчику. Отойдя в уголок, оборотясь спиной к присутствующим и закусив с аппетитом, он воротился к конторщику, поставил на стол блюдечко, зная цену, вынул десять копеек серебром и положил на прилавок монетку, ловя взгляды конторщика, чтоб указать ему: "что вот, дескать, монетка лежит; один расстегайчик" и т. д.

-- С вас рубль десять копеек, -- процедил сквозь зубы конторщик.

Господин Голядкин порядочно изумился.

-- Вы мне говорите?.. Я... я, кажется, взял один пирожок.

-- Одиннадцать взяли, -- с уверенностью возразил конторщик.

-- Вы... сколько мне кажется... вы, кажется, ошибаетесь... Я, право, кажется, взял один пирожок.

225

-- Я считал; вы взяли одиннадцать штук. Когда взяли, так нужно платить; у нас даром ничего не дают.

Господин Голядкин был ошеломлен. "Что ж это, колдовство, что ль, какое надо мной совершается?" -- подумал он. Между тем конторщик ожидал решения господина Голядкина; господина Голядкина обступили; господин Голядкин уже полез было в карман, чтоб вынуть рубль серебром, чтоб расплатиться немедленно, чтоб от греха-то подальше быть. "Ну, одиннадцать так одиннадцать, -- думал он, краснея как рак, -- ну, что же такого тут, что съедено одиннадцать пирожков? Ну, голоден человек, так и съел одиннадцать пирожков; ну, и пусть ест себе на здоровье; ну, и дивиться тут нечему и смеяться тут нечему..." Вдруг как будто что-то кольнуло господина Голядкина; он поднял глаза и -- разом понял загадку, понял всё колдовство; разом разрешились все затруднения... В дверях в соседнюю комнату, почти прямо за спиною конторщика и лицом к господину Голядкину, в дверях, которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, стоял один человек, -- стоял он, стоял сам господин Голядкин, -- не старый господин Голядкин, не герой нашей повести, а другой господин Голядкин, новый господин Голядкин. Другой господин Голядкин находился, по-видимому, в превосходном расположении духа. Он улыбался господину Голядкину первому, кивал ему головою, подмигивал глазками, семенил немного ногами и глядел так, что чуть что, -- так он и стучуется, так он и в

соседнюю комнату, а там, пожалуй, задним ходом, да и того... и все преследования останутся тщетными. В руках его был последний кусок десятого расстегая, который он, в глазах же господина Голядкина, отправил в свой рот, чмокнув от удовольствия. "Подменил, подлец! -- подумал господин Голядкин, вспыхнув как огонь от стыда, -- не постыдился публичности! Видят ли его? Кажется, не замечает никто..." Господин Голядкин бросил рубль серебром так, как будто бы об него все пальцы обжег, и, не замечая значительно-наглой улыбки конторщика, улыбки торжества и спокойного могущества, выдрался из толпы и бросился вон без оглядки. "Спасибо за то, что хоть не компрометировал окончательно человека! -- подумал старший господин Голядкин. -- Спасибо разбойнику, и ему и судьбе, что еще хорошо всё уладилось. Нагрубил лишь конторщик. Да что ж, ведь он был в своем праве! Рубль десять следовало, так и был в своем праве.

226

Дескать, без денег у нас никому не дают! Хоть бы был поучтивей, бездельник!.."

Всё это говорил господин Голядкин, сходя с лестницы на крыльцо. Однако же на последней ступеньке он остановился как вкопанный и вдруг покраснел так, что даже слезы выступили у него на глазах от припадка страдания амбиции. Простояв с полминуты столбом, он вдруг решительно топнул ногою, в один прыжок соскочил с крыльца на улицу и без оглядки, задыхаясь, не слыша усталости, пустился к себе домой, в Шестилавочную улицу. Дома, не сняв даже с себя верхнего платья, вопреки привычке своей быть у себя подомашнему, не взяв даже предварительно трубки, уселся он немедленно на диване, придвинул чернильницу, взял перо, достал лист почтовой бумаги и принялся строчить дрожащею от внутреннего волнения рукой следующее послание:

"Милостивый государь мой,  
Яков Петрович!

Никак бы не взял я пера, если бы обстоятельства мои и вы сами, милостивый государь мой, меня к тому не принудили. Верьте, что необходимость одна понудила меня вступить с вами в подобное объяснение, и потому прежде всего прошу считать эту меру мою не как умышленным намерением к вашему, милостивый государь мой, оскорблению, но как необходимым следствием связующих нас теперь обстоятельств".

"Кажется, хорошо, прилично, вежливо, хотя не без силы и твердости?... Обижаться ему тут, кажется, нечем. К тому же я в своем праве", -- подумал господин Голядкин, перечитывая написанное.

"Неожиданное и странное появление ваше, милостивый государь мой, в бурную ночь, после грубого и неприличного со мною поступка врагов моих, коих имя умалчиваю из презрения к ним, было зародышем всех недоразумений, в настоящее время между нами существующих. Упорное же ваше, милостивый государь, желание стоять на своем и насильственно войти в круг моего бытия и всех отношений моих в практической жизни выступает даже за пределы, требуемые одною лишь вежливостью и простым общежитием. Я думаю, нечего упоминать здесь о похищении вами, милостивый государь мой, бумаги моей и собственного моего честного имени, для приобретения ласки начальства, -- ласки, не заслуженной вами. Нечего

227

упоминать здесь и об умышленных и обидных уклонениях ваших от необходимых по сему случаю объяснений. Наконец, чтобы всё сказать, не упоминаю здесь и о последнем странном, можно сказать, непонятном поступке вашем со мною в кофейном доме. Далек от того, чтоб сетовать о бесполезной для меня утрате рубля серебром; но не могу не выказать всего негодования моего при воспоминании о явном посягательстве вашем, милостивый государь, в ущерб моей чести и вдобавок в присутствии нескольких персон, хотя не знакомых мне, но вместе с тем весьма хорошего тона..."

"Не далеко ли я захожу? -- подумал господин Голядкин. -- Не много ли будет; не слишком ли это обидчиво, -- этот намек на хороший тон, например?.. Ну, да ничего! Нужно показать ему твердость характера. Впрочем, ему можно, для смягчения, этак польстить и подмаслить в конце. А вот мы посмотрим".

"Но не стал бы я, милостивый государь мой, утомлять вас письмом моим, если бы не был твердо уверен, что благородство сердечных чувств и открытый, прямодушный характер ваш укажут вам самому средства поправить все упущения и восстановить всё по-прежнему.

В полной надежде я смею оставаться уверенным, что вы не примете письма моего в обидную для вас сторону, а вместе с тем и не откажетесь объясниться нарочито по этому случаю письменно, через посредство моего человека.

В ожидании, честь имею пребыть, милостивый государь, покорнейшим вашим слугою

Я. Голядкиным".

"Ну, вот и всё хорошо. Дело сделано; дошло и до письменного. Но кто ж виноват? Он сам виноват: сам доводит человека до необходимости требовать письменных документов. А я в своем праве..."

Перечитав последний раз письмо, господин Голядкин сложил его, запечатал и позвал Петрушку. Петрушка явился, по обыкновению своему, с заспанными глазами и на что-то крайне сердитый.

-- Ты, братец, вот, возьмешь это письмо... понимаешь?

Петрушка молчал.

228

-- Возьмешь его и отнесешь в департамент; там отыщешь дежурного, губернского секретаря Вахрамеева. Вахрамеев сегодня дежурный. Понимаешь ты это?

-- Понимаю.

-- Понимаю! Не можешь сказать: понимаю-с. Спросишь чиновника Вахрамеева и скажешь ему, что, дескать, вот так и так, дескать, барин приказал вам кланяться и покорнейше попросить вас справиться в адресной нашего ведомства книге -- где, дескать, живет титулярный советник Голядкин?

Петрушка промолчал и, как показалось господину Голядкину, улыбнулся.

-- Ну, так вот ты, Петр, спросишь у них адрес и узнаешь, где, дескать, живет новопоступивший чиновник Голядкин?

-- Слушаю.

-- Спросишь адрес и отнесешь по этому адресу это письмо; понимаешь?

-- Понимаю.

-- Если там... вот куда ты письмо отнесешь, -- тот господин, кому письмо это дашь, Голядкин-то... Чего смеешься, болван?

-- Да чего мне смеяться-то? Что мне! Я ничего-с. Нечего нашему брату смеяться...

-- Ну, так вот... если тот господин будет спрашивать, дескать, как же твой барин, как же он там; что, дескать, он, того... ну, там, что-нибудь будет выспрашивать, -- так ты молчи и отвечай, дескать, барин мой ничего, а просят, дескать, ответа от вас своеручного. Понимаешь?

-- Понимаю-с.

-- Ну, так вот, дескать, барин мой, дескать, говори, ничего, дескать, и здоров, и в гости, дескать, сейчас собирается; а от вас, дескать, они ответа просят письменного. Понимаешь?

-- Понимаю.

-- Ну, ступай.

"Ведь вот еще с этим болваном работа! смеется себе, да и кончено. Чему ж он смеется? Дожил я до беды, дожил я вот таким-то образом до беды! Впрочем, может быть, оно обратится всё к лучшему... Этот мошенник, верно, часа два будет таскаться теперь, пропадет еще где-нибудь. Послать нельзя никуда. Эка беда ведь какая!.. эка ведь беда одолела какая!.."

Чувствуя, таким образом, вполне беду свою, герой наш

229

решился на пассивную двухчасовую роль в ожидании Петрушки. С час времени ходил он по комнате, курил, потом бросил трубку и сел за какую-то книжку, потом прилег на диван, потом опять взялся за трубку, потом опять начал бегать по комнате. Хотел было он рассуждать, но рассуждать не мог решительно ни о чем. Наконец агония пассивного состояния его возросла до последнего градуса, и господин Голядкин решился принять одну меру. "Петрушка придет еще через час, --думал он, --можно ключ отдать дворнику, а сам я покамест и, того... исследую дело, по своей части исследую дело". Не теряя времени и спеша исследовать дело, господин Голядкин взял свою шляпу, вышел из комнаты, запер квартиру, зашел к дворнику, вручил ему ключ вместе с гривенником, -- господин Голядкин стал как-то необыкновенно щедр, -- и пустился, куда ему следовало. Господин Голядкин пустился пешком, сперва к Измайловскому мосту. В ходьбе прошло с полчаса. Дойдя до цели своего путешествия, он вошел прямо во двор своего знакомого дома и взглянул на окна квартиры статского советника Берендеева. Кроме трех завешенных красными гардинами окон, остальные все были темны. "У Олсуфья Ивановича сегодня, верно, нет гостей, -- подумал господин Голядкин, -- они, верно, все одни теперь дома сидят". Постояв несколько времени на дворе, герой наш хотел было уже на что-то решиться. Но решению не суждено было состояться, по-видимому. Господин Голядкин отдумал, махнул рукой и воротился на улицу. "Нет, не сюда мне нужно было идти. Что же я буду здесь делать?.. А вот я лучше теперь, того... и собственнлично исследую дело". Приняв такое решение, господин Голядкин пустился в свой департамент. Путь был не близок, вдобавок была страшная грязь и мокрый снег валил самыми густыми хлопьями. Но для героя нашего в настоящее время затруднений, кажется, не было. Измок-то он измок, правда, да и загрязнился немало, "да уж так, заодно, зато цель достигнута". И действительно, господин Голядкин уже подходил к своей цели. Темная масса огромного казенного строения уже зачернела вдали перед ним. "Стой! -- подумал он, -- куда ж я иду и что я буду здесь делать? Положим, узнаю где он живет; а между тем Петрушка уже, верно, вернулся и ответ мне принес. Время-то я мое дорогое только даром теряю, время-то я мое только так потерял. Ну, ничего; еще всё это можно исправить. Однако, и в самом деле, не зайти ль к Вахрамееву? Ну, да нет! я уж после... Эк! выходить-то

230

было вовсе не нужно. Да нет, уж характер такой! Сноровка такая, что нужда ли, нет ли, вечно норовлю как-нибудь вперед забежать... Гм... который-то час? уж верно, есть девять. Петрушка может прийти и не найдет меня дома. Сделал я чистую глупость, что вышел... Эх, право, комиссия!"

Искренно сознавшись таким образом, что сделал чистую глупость, герой наш побежал обратно к себе в Шестилавочную. Добежал он усталый, измученный. Еще от дворника узнал он, что Петрушка и не думал являться. "Ну, так! уж я предчувствовал это, -- подумал герой наш, -- а между тем уже девять часов. Эк ведь негодай он какой! Уж вечно где-нибудь пьянствует! Господи бог мой! экой ведь денек выдался на долю мою горемычную!" Таким-то образом размышляя и сетуя, господин Голядкин отпер квартиру свою, достал огня, разделся совсем, выкурил трубку и, истощенный, усталый, разбитый, голодный, прилег на диван в ожидании Петрушки. Свеча нагорала тускло, свет трепетал на стенах... Господин Голядкин глядел-глядел, думал-думал, да и заснул наконец как убитый.

Проснулся он уже поздно. Свеча совсем почти догорела, дымилась и готова была тотчас совершенно потухнуть. Господин Голядкин вскочил, встрепенулся и вспомнил всё,

решительно всё. За перегородкой раздавался густой храп Петрушки. Господин Голядкин бросился к окну -- нигде ни огонька. Отворил форточку -- тихо; город словно вымер, спит. Стало быть, часа два или три; так и есть: часы за перегородкой понатужились и пробили два. Господин Голядкин бросился за перегородку.

Кое-как, впрочем после долгих усилий, растолкал он Петрушку и успел посадить его на постель. В это время свечка совершенно потухла. Минут с десять прошло, покамест господин Голядкин успел найти другую свечу и зажечь ее. В это время Петрушка успел заснуть сызнова. "Мерзавец ты этакой, негодяй ты такой! -- проговорил господин Голядкин, снова его расталкивая, -- встанешь ли ты, проснешься ли ты?" После получасовых усилий господин Голядкин успел, однако же, расшевелить совершенно своего служителя и вытащить его из-за перегородки. Тут только увидел герой наш, что Петрушка был, как говорится, мертвецки пьян и едва на ногах держался.

-- Бездельник ты этакой! -- закричал господин Голядкин. -- Разбойник ты этакой! голову ты срезал с меня! Господи, куда же это он письмо-то сбыл с рук? Ахти, создатель

231

мой, ну, как оно... И зачем я его написал? и нужно было мне его написать! Рассказался, дуралей, я с амбицией! Туда же полез за амбицией! Вот тебе и амбиция, подлец ты этакой, вот и амбиция!.. Ну, ты! куда же ты письмо-то дел, разбойник ты этакой? Кому же ты отдал его?..

-- Никому я не отдавал никакого письма; и не было у меня никакого письма... вот как!

Господин Голядкин ломал руки с отчаяния.

-- Слушай ты, Петр... ты послушай, ты слушай меня...

-- Слушаю...

-- Ты куда ходил? -- отвечай...

-- Куда ходил... к добрым людям ходил! что мне!

-- Ах ты, господи боже мой! Куда сначала ходил? был в департаменте?.. Ты послушай, Петр; ты, может быть, пьян?

-- Я пьян? Вот хоть сейчас с места не сойти, мак-мак-маковой -- вот...

-- Нет, нет, это ничего, что ты пьян... Я только так спросил; это хорошо, что ты пьян; я ничего, Петруша, я ничего... Ты, может быть, только так позабыл, а всё помнишь. Ну-ка, вспомни-ка, был ты у Вахрамеева, чиновника, -- был или нет?

-- И не был, и чиновника такого не бывало. Вот хоть сейчас...

-- Нет, нет, Петр! Нет, Петруша, ведь я ничего. Ведь ты видишь, что я ничего... Ну, что ж такое! Ну, на дворе холодно, сыро, ну, выпил человек маленько, ну, и ничего... Я не сержусь. Я сам, брат, выпил сегодня... Ты признайся, вспомни-ка, брат: был ты у чиновника Вахрамеева?

-- Ну, как теперь, вот так пошло, так, право слово, вот был же, вот хоть сейчас...

-- Ну, хорошо, Петруша, хорошо, что был. Ты видишь, я не сержусь... Ну, ну, -- продолжал наш герой, еще более задабривая своего служителя, трепля его по плечу и улыбаясь ему, -- ну, клюкнул, мерзавец, маленько... на гривенник, что ли, клюкнул? плут ты этакой! Ну, и ничего; ну, ты видишь, что я не сержусь... я не сержусь, братец, я не сержусь...

-- Нет, я не плут, как хотите-с... К добрым людям только зашел, а не плут, и плутом никогда не бывал...

-- Да нет же, нет, Петруша! ты послушай, Петр: ведь я ничего, ведь я тебя не ругаю, что плутом называю. Ведь это я в утешение тебе говорю, в благородном смысле про это говорю. Ведь это значит, Петруша, польстить иному

232

человеку, как сказать ему, что он петля этакая, продувной малый, что он малый не промах и никому надуть себя не позволит. Это любит иной человек... Ну, ну, ничего! ну, скажи же ты мне, Петруша, теперь без утайки, откровенно, как другу... ну, был ты у чиновника Вахрамеева и адрес он дал тебе?

-- И адрес дал, тоже и адрес дал. Хороший чиновник! И барин твой, говорит, хороший человек, очень хороший, говорит, человек; я, дескать, скажи, говорит, кланяйся, говорит, своему барину, благодари и скажи, что я, дескать, люблю, вот, дескать, как уважаю твоего барина! за то, что, говорит, ты, барин твой, говорит, Петруша, хороший человек, говорит, и ты, говорит, тоже хороший человек, Петруша, -- вот...

-- Ах ты, господи боже мой! А адрес-то, адрес-то, Иуда ты этакой? -- Последние слова господин Голядкин проговорил почти шепотом.

-- И адрес... и адрес дал.

-- Дал? Ну, где же живет он, Голядкин, чиновник Голядкин, титулярный советник?

-- А Голядкин будет тебе, говорит, в Шестилавочной улице. Вот как пойдешь, говорит, в Шестилавочную, так направо, на лестницу, в четвертый этаж. Вот тут тебе, говорит, и будет Голядкин...

-- Мошенник ты этакой! -- закричал наконец вышедший из терпения герой наш. -- Разбойник ты этакой! да это ведь я; ведь это ты про меня говоришь. А то другой есть Голядкин; я про другого говорю, мошенник ты этакой!

-- Ну, как хотите! что мне! Вы как хотите -- вот!..

-- А письмо-то, письмо...

-- Какое письмо? и не было никакого письма, и не видал я никакого письма.

-- Да куда же ты дел его -- шельмец ты такой?!

-- Отдал его, отдал письмо. Кланяйся, говорит, благодари; хороший твой, говорит, барин. Кланяйся, говорит, твоему барину...

-- Да кто же это сказал? Это Голядкин сказал? Петрушка помолчал немного и усмехнулся во весь рот, глядя прямо в глаза своему барину.

-- Слушай, ты, разбойник ты этакой! -- начал господин Голядкин, задыхаясь, теряясь от бешенства, -- что ты сделал со мной! Говори ты мне, что ты сделал со мной! Срезал ты меня, злодей ты такой! Голову с плеч моих снял, Иуда ты этакой!

233

-- Ну, теперь как хотите! что мне! -- сказал решительным тоном Петрушка, ретируясь за перегородку.

-- Пошел сюда, пошел сюда, разбойник ты этакой!..

-- И не пойду я к вам теперь, совсем не пойду. Что мне! Я к добрым людям пойду... А добрые люди живут по честности, добрые люди без фальши живут и по двое никогда не бывают...

У господина Голядкина и руки и ноги оледенели, и дух занялся...

-- Да-с, -- продолжал Петрушка, -- их по двое никогда не бывает, бога и честных людей не обижают...

-- Ты бездельник, ты пьян! Ты спи теперь, разбойник ты этакой! А вот завтра и будет тебе, -- едва слышным голосом проговорил господин Голядкин. Что же касается до Петрушки, то он пробормотал еще что-то; потом слышно было, как он налег на кровать, так что кровать затрещала, протяжно зевнул, потянулся и наконец захрапел сном невинности, как говорится. Ни жив ни мертв был господин Голядкин. Поведение Петрушки, намеки его весьма странные, хотя и отдаленные, на которые сердиться, следственно, нечего было, тем более что пьяный человек говорил, и, наконец, весь злокачественный оборот, принимаемый делом, -- всё это потрясло до основания Голядкина. "И дернуло меня его распекать среди ночи, -- говорил наш герой, дрожа всем телом от какого-то болезненного ощущения. -- И подсунуло меня с пьяным человеком связаться! Какого толку ждать от пьяного человека! что ни слово, то врет. На что это, впрочем, он намекал, разбойник он этакой? Господи боже мой! И зачем я все эти письма писал, я-то, душегубец; я-то, самоубийца я этакой! Нельзя помолчать! Надо было провратиться! Ведь уж чего! Погибаешь, ветошке подобисься, так ведь нет же, туда же с амбицией, дескать, честь моя страждет, дескать, честь тебе свою нужно спасать! Самоубийца я этакой!"

Так говорил господин Голядкин, сидя на диване своем и не смея пошевелиться от страха. Вдруг глаза его остановились на одном предмете, в высочайшей степени возбудившем его внимание. В страхе -- не иллюзия ли, не обман ли воображения предмет, возбудивший внимание его, -- протянул он к нему руку, с надеждою, с робостию, с любопытством неописанным... Нет, не обман! не иллюзия! Письмо, точно письмо, непременно письмо, и к нему адресованное... Господин Голядкин взял письмо со стола. Сердце в нем страшно билось. "Это, верно, тот мошенник

234

принес, -- подумал он, -- и тут положил, а потом и забыл; верно, так всё случилось; это, верно, именно так всё случилось..." Письмо было от чиновника Вахрамеева, молодого сослуживца и некогда приятеля господина Голядкина. "Впрочем, я всё это заранее предчувствовал, -- подумал герой наш, -- и всё то, что в письме теперь будет, также предчувствовал..." Письмо было следующее:

"Милостивый государь,

Яков Петрович!

Человек ваш пьян, и путного от него не дождешься; по сей причине предпочитаю отвечать письменно. Спешу вам объявить, что поручение, вами не меня возлагаемое и состоящее в передаче известной вам особе через мои руки письма, согласен исполнить во всей верности и точности. Квотирует же сия особа, весьма вам известная и теперь заменившая мне друга, коей имя при сем умалчиваю (затем что не хочу напрасно чернить репутацию совершенно невинного человека), вместе с нами, в квартире Каролины Ивановны, в том самом номере, где прежде еще, в бытность вашу у нас, квартировал заезжий из Тамбова пехотный офицер. Впрочем, особу сию можете найти везде между честных и искренних сердцем людей, чего об иных сказать невозможно. Связи мои с вами намерен я с сего числа прекратить; в дружественном же тоне и в прежнем согласном виде товарищества нашего нам оставаться нельзя, и потому прошу вас, милостивый государь мой, немедленно по получении сего откровенного письма моего, выслать следуемые мне два целковых за бритвы иностранной работы, проданные мною, если запомнить изволите, семь месяцев тому назад в долг, еще во время жительствовавшего с нами у Каролины Ивановны, которую я от всей души моей уважаю. Действую же я таким образом потому, что вы, по рассказам умных людей, потеряли амбицию и репутацию и стали опасны для нравственности невинных и незараженных людей, ибо некоторые особы живут не по правде и, сверх того, слова их -- фальшь и благонамеренный вид подозрителен. Вступить же за обиду Каролины Ивановны, которая всегда была благонаправленного поведения, а во-вторых, честная женщина и вдобавок девица, хотя не молодых лет, но зато хорошей иностранной фамилии, -- людей способных можно найти всегда и везде, о чем просили меня некоторые особы упомянуть в сем письме моем мимоходом и говоря от своего лица. Во всяком

235

же случае вы всё узнаете своевременно, если теперь не узнали, несмотря на то что ославили себя, по рассказам умных людей, во всех концах столицы и, следовательно, уже во многих местах могли получить надлежащие о себе, милостивый государь, сведения. В заключение письма моего объявляю вам, милостивый мой государь, что известная вам особа, коей имя не упоминаю здесь по известным благородным причинам, весьма уважаема людьми благомыслящими; сверх того, характера веселого и приятного, успевает как на службе, так и между всеми здравомыслящими людьми, верна своему слову и дружбе и не обижает заочно тех, с кем в глаза находится в приятельских отношениях.

Во всяком случае пребываю  
покорным слугою вашим

Н. Вахрамеевым.

Р. S. Вы вашего человека сгоните: он пьяница и приносит вам, по всей вероятности, много хлопот, а возьмите Евстафия, служившего прежде у нас и находящегося на сей раз без места. Теперешний же служитель ваш не только пьяница, но, сверх того, вор, ибо еще на прошлой неделе продал фунт сахара, в виде кусков, Каролине Ивановне за уменьшенную цену, что, по моему мнению, не мог он иначе сделать, как обворовав вас хитростным образом, по-малому и в разные сроки. Пишу вам сие, желая добра, несмотря на то что некоторые особы умеют только обижать и обманывать всех людей, преимущественно же честных и обладающих добрым характером; сверх того, заочно поносят их и представляют их в обратном смысле, единственно из зависти и потому, что сами себя не могут назвать таковыми.  
В."

Прочтя письмо Вахрамеева, герой наш долго еще оставался в неподвижном положении на диване своем. Какой-то новый свет пробивался сквозь весь неясный и загадочный туман, уже два дня окружавший его. Герой наш отчасти начинал понимать... Попробовал было он встать с дивана и пройтись раз и другой по комнате, чтоб освежить себя, собрать кое-как разбитые мысли, устремить их на известный предмет и потом, поправив себя немного, зрело обдумать свое положение. Но только что хотел было он привстать, как тут же в немощи и бессилии, упал опять на

236

прежнее место. "Оно, конечно, я это всё заранее предчувствовал; однако же как же он пишет и каков прямой смысл этих слов? Смысл-то я, положим, и знаю; но куда это поведет? Сказал бы прямо: вот, дескать, так-то и так-то, требуется то-то и то-то, я бы и исполнил. Турнюра-то, оборот-то, принимаемый делом, такой неприятный выходит! Ах, как бы поскорее добраться до завтра и поскорее добраться до дела! теперь же я знаю, что делать. Дескать, так и так, скажу, на резоны согласен, чести моей не продам, а того... пожалуй; впрочем, он-то, особа-то эта известная, лицо-то неблагоприятное как же сюда подмешалось? и зачем именно подмешалось сюда? Ах, как бы до завтра скорей! Ославят они меня до тех пор, интригуют они, в пику работают! Главное -- времени не нужно терять, а теперь, например, хоть письмо написать и только пропустить, что, дескать, то-то и то-то и вот на то-то и то-то согласен. А завтра чем свет отослать, и самому пораньше, того... и с другой стороны им в контру пойти, и предупредить их, голубчиков... Ославят они меня, да и только!"

Господин Голядкин подвинул бумагу, взял перо и написал следующее послание в ответ на письмо губернского секретаря Вахрамеева:

"Милостивый государь,

Нестор Игнатьевич!

С прискорбным сердцу моему удивлением прочел я оскорбительное для меня письмо ваше, ибо ясно вижу, что под именем некоторых неблагопристойных особ и иных с ложною благонамеренностью людей разумеете вы меня. С истинною горестию вижу, как скоро, успешно и какие далекие корни пустила клевета, в ущерб моему благоденствию, моей чести и доброму моему имени. И тем более прискорбно и оскорбительно это, что даже честные люди, с истинно благородным образом мыслей и, главное, одаренные прямым и открытым характером, отступают от интересов благородных людей и прилепляются лучшими качествами сердца своего к зловерной тле, -- к несчастью в наше тяжелое и безнравственное время расплотившейся сильно и крайне неблагонамеренно. В заключение скажу, что вами означенный долг мой, два рубля серебром, почту святою обязанностию возвратить вам во всей его целостности.

Что же касается до ваших, милостивый государь мой, намеков насчет известной особы женского пола, насчет

237

намерений, расчетов и разных замыслов этой особы, то скажу вам, милостивый государь мой, что я смутно и неясно понял все эти намеки. Позвольте мне, милостивый государь мой, благородный образ мыслей моих и честное имя мое сохранить незапятнанными. Во всяком же случае готов снизойти до объяснения лично, предпочитая верность личного письменному, и, сверх того, готов войти в разные миролюбивые, обоюдные разумеется, соглашения. На сей конец прошу вас, милостивый мой государь, передать сей особе готовность мою для соглашения личного и, сверх того, просить ее назначить время и место свидания. Горько мне было читать, милостивый государь мой, намеки на то, что будто бы вас оскорбил, изменил нашей первобытной дружбе и отзывался о вас с дурной стороны. Приписываю всё сие недоразумению, гнусной клевете, зависти и недоброжелательству тех, коих справедливо могу наименовать ожесточеннейшими врагами моими. Но они, вероятно, не знают, что невинность сильна уже своею невинностью, что бесстыдство, наглость и возмущающая душу фамильярность иных особ, рано ли, поздно ли, заслужит себе всеобщее клеймо презрения и что эти особы погибнут не иначе, как от собственной неблагопристойности и развращенности сердца. В заключение прошу вас, милостивый государь мой, передать сим особам, что странная претензия их и неблагородное фантастическое желание вытеснить других из пределов, занимаемых сими другими своим бытием в этом мире, и занять их место, заслуживают изумления, презрения, сожаления и, сверх того, сумасшедшего дома; что, сверх того, такие отношения запрещены строго законами, что, по моему мнению, совершенно справедливо, ибо всякий должен быть доволен своим собственным местом. Всему есть пределы, и если это шутка, то шутка неблагопристойная, скажу более: совершенно безнравственная, ибо смею уверить вас, милостивый государь мой, что идеи мои, выше распространенные насчет своих мест, чисто нравственные.

Во всяком случае честь имею пребыть  
вашим покорным слугою

Я. Голядкин".

238

## Глава X

Вообще можно сказать, что происшествия вчерашнего дня до основания потрясли господина Голядкина. Почивал наш герой весьма нехорошо, то есть никак не мог даже на пять минут заснуть совершенно: словно проказник какой-нибудь насыпал ему резаной щетины в постель. Всю ночь провел он в каком-то полусне, полубдении, переворачиваясь со стороны на сторону, с боку на бок, охая, кряхтя, на минутку засыпая, через минутку опять просыпаясь, и всё это сопровождалось какой-то странной тоской, неясными воспоминаниями, безобразными видениями, -- одним словом, всем, что только можно найти неприятного... То появлялась перед ним, в каком-то странном, загадочном полусвете, фигура Андрея Филипповича, -- сухая фигура, сердитая фигура, с сухим, жестким взглядом и с черство-учливой побранкой... И только что господин Голядкин начинал было подходить к Андрею Филипповичу, чтоб перед ним каким-нибудь образом, так или этак, оправдаться и доказать ему, что он вовсе не таков, как его враги расписали, что он вот такой-то да сякой-то и даже обладает, сверх обыкновенных, врожденных качеств своих, вот тем-то и тем-то; но как тут и являлось известное своим неблагопристойным направлением лицо и каким-нибудь самым возмущающим душу

средством сразу разрушало все предначинания господина Голядкина, тут же, почти на глазах же господина Голядкина, очерняло досконально его репутацию, втаптывало в грязь его амбицию и потом немедленно занимало место его на службе и в обществе. То чесалась голова господина Голядкина от какого-нибудь щелчка, недавно благоприобретенного и уничтожение принятого, полученного или в общежитии, или как-нибудь там, по обязанности, на который щелчок протестовать было трудно... И между тем как господин Голядкин начинал было ломать себе голову над тем, что почему вот именно трудно протестовать хоть бы на такой-то щелчок, -- между тем эта же мысль о щелчке незаметно переливалась в какую-нибудь другую форму, -- в форму какой-нибудь известной маленькой или довольно значительной подлости, виденной, слышанной или самим недавно исполненной, -- и часто исполненной-то даже и не на подлом основании, даже и не из подлого побуждения какого-нибудь, а так, -- иногда, например, по случаю, -- из деликатности, другой

239

раз из ради совершенной своей беззащитности, ну и, наконец, потому... потому, одним словом, уж это господин Голядкин знал хорошо почему! Тут господин Голядкин краснел сквозь сон и, подавляя краску свою, бормотал про себя, что, дескать, здесь, например, можно бы показать твердость характера, значительную бы можно было показать в этом случае твердость характера... а потом и заключал, что, "дескать, что же твердость характера!.. дескать, зачем ее теперь поминать!.." Но всего более бесило и раздражало господина Голядкина то, что как тут, и непременно в такую минуту, звали ль, не звали ль его, являлось известное безобразием и пасквильностью своего направления лицо и тоже, несмотря на то что уже, кажется, дело было известное, -- тоже, туда же, бормотало с неблагопристойной улыбочкой, что, "дескать, что уж тут твердость характера! какая, дескать, у нас с тобой, Яков Петрович, будет твердость характера!.." То грезилося господину Голядкину, что находится он в одной прекрасной компании, известной своим остроумием и благородным тоном всех лиц, ее составляющих; что господин Голядкин в свою очередь отличился в отношении любезности и остроумия, что все его полюбили, даже некоторые из врагов его, бывших тут же, его полюбили, что очень приятно было господину Голядкину; что все ему отдали первенство и что, наконец, сам господин Голядкин с приятностью подслушал, как хозяин тут же, отведя в сторону кой-кого из гостей, похвалил господина Голядкина... и вдруг, ни с того ни с сего, опять явилось известное своею неблагонамеренностью и зверскими побуждениями лицо, в виде господина Голядкина-младшего, и тут же, сразу, в один миг, одним появлением своим, Голядкин-младший разрушал всё торжество и всю славу господина Голядкина-старшего, затмил собою Голядкина-старшего, втоптал в грязь Голядкина-старшего и, наконец, ясно доказал, что Голядкин-старший и вместе с тем настоящий -- вовсе не настоящий, а поддельный, а что он настоящий, что, наконец, Голядкин-старший вовсе не то, чем он кажется, а такой-то и сякой-то, и, следовательно, не должен и не имеет права принадлежать к обществу людей благонамеренных и хорошего тона. И всё это до того быстро сделалось, что господин Голядкин-старший и рта раскрыть не успел, как уже все и душою и телом предалось безобразному и поддельному господину Голядкину и с глубочайшим презрением отвергли его,

240

настоящего и невинного господина Голядкина. Не оставалось лица, которого мнение не переделал бы в один миг безобразный господин Голядкин по-своему. Не оставалось лица, даже самого незначительного из целой компании, к которому бы не подлизался бесполезный и фальшивый господин Голядкин по-своему, самым сладчайшим манером, к которому бы не подбил по-своему, перед которым бы он не покурил, по своему обыкновению, чем-нибудь самым приятным и сладким, так что обкуриваемое лицо только нюхало и чихало до слез в знак высочайшего удовольствия. И, главное, всё это делалось мигом: быстрота хода подозрительного и бесполезного господина Голядкина была

удивительная! Чуть успеет, например, полизаться с одним, заслужить благорасположение его, -- и глазком не мигнешь, как уж он у другого. Полижется-полижется с другим втихомолочку, сорвет улыбочку благоволения, лягнет своей коротенькой, кругленькой, довольно, впрочем, дубоватенькой ножкой, -- и вот уж и с третьим, и куртизанит уж третьего, с ним тоже лижется по-приятельски; рта раскрыть не успеваешь, в изумление не успеешь прийти, -- а уж он у четвертого, и с четвертым уже на тех же кондициях, -- ужас: колдовство, да и только! И все рады ему и все любят его, и все превозносят его, и все провозглашают хором, что любезность и сатирическое ума его направление не в пример лучше любезности и сатирического направления настоящего господина Голядкина, и стыдят этим настоящего и невинного господина Голядкина, и отвергают правдолюбивого господина Голядкина, и уже гонят в толчки благонамеренного господина Голядкина, и уже сыплют щелчки в известного любовью к ближнему настоящего господина Голядкина!.. В тоске, в ужасе, в бешенстве выбежал многострадальный господин Голядкин на улицу и стал нанимать извозчика, чтоб прямо лететь к его превосходительству, а если не так, то уж по крайней мере к Андрею Филипповичу, но -- ужас! извозчики никак не соглашались везти господина Голядкина: "дескать, барин, нельзя везти двух совершенно подобных; дескать, ваше благородие, хороший человек норовит жить по честности, а не как-нибудь, и вдвойне никогда не бывает". В исступлении стыда оглядывался кругом совершенно честный господин Голядкин и действительно уверялся, сам, своими глазами, что извозчики и стакнувшийся с ними Петрушка все в своем праве; ибо развращенный господин

241

Голядкин находился действительно тут же, возле него, не в дальнем от него расстоянии, и следуя подлым обычаям нравов своих, и тут, и в этом критическом случае, непременно готовился сделать что-то весьма неприличное и несколько не обличавшее особенного благородства характера, получаемого обыкновенно при воспитании, -- благородства, которым так величался при всяком удобном случае отвратительный господин Голядкин второй. Не помня себя, в стыде и в отчаянии, бросился погибший и совершенно справедливый господин Голядкин куда глаза глядят, на волю судьбы, куда бы ни вынесло; но с каждым шагом его, с каждым ударом ноги в гранит тротуара, выскакивало, как будто из-под земли, по такому же точно, совершенно подобному и отвратительному развращенностию сердца господину Голядкину. И все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении своем бежать один за другим и длиною цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Голядкиным-старшим, так что некуда было убежать от совершенно подобных, -- так что дух захватывало всячески достойному сожаления господину Голядкину от ужаса, -- так что народилась наконец страшная бездна совершенно подобных, -- так что вся столица запрудилась наконец совершенно подобными, и полицейский служитель, видя таковое нарушение приличия, принужден был взять этих всех совершенно подобных за шиворот и посадить в случившуюся у него под боком будку... Цепеня и леденя от ужаса, просыпался герой наш и, цепеня и леденя от ужаса, чувствовал, что и наяву едва ли веселее проводится время... Тяжело, мучительно было... Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из груди...

Наконец господин Голядкин не мог долее вытерпеть. "Не будет же этого!" -- закричал он, с решимостью приподымаясь с постели, и вслед за этим восклицанием совершенно очнулся.

День, по-видимому, уже давно начался. В комнате было как-то не по-обыкновенному светло; солнечные лучи густо процеживались сквозь заиндевевшие от мороза стекла и обильно рассыпались по комнате, что немало удивило господина Голядкина; ибо разве только в полдень заглядывало к нему солнце своим чередом; прежде же таких исключений в течении небесного светила, сколько по крайней мере господин Голядкин сам мог припомнить, почти

242

никогда не бывало. Только что успел подивиться на это герой наш, как зажужжали за перегородкой стенные часы и, таким образом, совершенно приготовились бить. "А, вот!" -- подумал господин Голядкин и с тоскливым ожиданием приготовился слушать... Но, к совершенному и окончательному поражению господина Голядкина, часы его понатужились и ударили всего один раз. "Это что за история?" -- вскричал наш герой, выскакивая совсем из постели. Так, как был, не веря ушам своим, бросился он за перегородку. На часах был действительно час. Господин Голядкин взглянул на кровать Петрушки; но в комнате даже не пахло Петрушкой: постель его, по-видимому, давно уже была прибрана и оставлена; сапогов его тоже нигде не было, -- несомненный признак, что Петрушки действительно не было дома. Господин Голядкин бросился к дверям: двери заперты. "Да где же Петрушка?" -- продолжал он шепотом, весь в страшном волнении и чувствуя довольно значительную дрожь во всех членах... Вдруг одна мысль пронеслась в голове его... Господин Голядкин бросился к столу своему, оглядел его, обшарил кругом, -- так и есть: вчерашнего письма его к Вахрамееву не было... Петрушки за перегородкой тоже совсем не было; на стенных часах был час, а во вчерашнем письме Вахрамеева были введены какие-то новые пункты, весьма, впрочем, с первого взгляда неясные пункты, но теперь совершенно объяснившиеся. Наконец, и Петрушка -- очевидно подкупленный Петрушка! Да, да, это так!

"Так это там-то главный узел завязывался! -- вскричал господин Голядкин, ударив себя по лбу и всё более и более открывая глаза, -- так это в гнезде этой скаредной немки кроется теперь вся главная нечистая сила! Так это, стало быть, она только стратегическую диверсию делала, указывая мне на Измайловский мост, -- глаза отводила, смущала меня (негодная ведьма!) и вот таким-то образом подкопы вела!!! Да, это так! Если только с этой стороны на дело взглянуть, то всё это и будет вот именно так! и появление мерзавца тоже теперь вполне объясняется: это всё одно к одному. Они его давно уж держали, приготавливали и на черный день припасали. Ведь вот оно как теперь, как оказалось-то всё! Как разрешилось-то всё! А ну, ничего! Еще не потеряно время!.." Тут господин Голядкин с ужасом вспомнил, что уже второй час пополудни. "Что, если они теперь и успели... -- Стон вырвался у него из груди... -- Да нет же, врут, не успели, -- посмотрим..." Кое-как

243

он оделся, схватил бумагу, перо и настрочил следующее послание:

"Милостивый государь мой,  
Яков Петрович!

Либо вы, либо я, а вместе нам невозможно! И потому объявляю вам, что странное, смешное и, вместе, невозможное желание ваше казаться моим близнецом и выдавать себя за такового послужит не к чему иному, как к совершенному вашему бесчестию и поражению. И потому прошу вас, ради собственной же выгоды вашей, посторониться и дать путь людям истинно благородным и с целями благонамеренными. В противном же случае готов решиться даже на самые крайние меры. Кладу перо и ожидаю... Впрочем, пребываю готовым на услуги и -- на пистолеты.  
Я. Голядкин".

Энергически потер себе руки герой наш, когда кончил записку. Затем, натянув шинель и надев шляпу, отпер другим, запасным ключом квартиру и пустился в департамент. До департамента он дошел, но войти не решился; действительно, было уже слишком поздно; половину третьего показывали часы господина Голядкина. Вдруг одно, по-видимому, весьма маловажное обстоятельство разрешило некоторые сомнения господина Голядкина: из-за угла департаментского здания вдруг показалась запыхавшаяся и раскрасневшаяся фигурка и украдкой, крысиной походкой шмыгнула на крыльцо и потом тотчас же в сени. Это был писарь Остафьев, человек весьма знакомый господину Голядкину, человек отчасти нужный и за гривенник готовый на всё. Зная нежную струну Остафьева и

сметнув, что он, после отлучки за самонужнейшей надобностью, вероятно, стал еще более прежнего падок на гривенники, герой наш решился их не жалеть и тотчас же шмыгнул на крыльцо, а потом и в сени вслед за Остафьевым, кликнул его и с таинственным видом пригласил в сторонку, в укромный уголок, за огромную железную печку. Заведя его туда, герой наш начал расспрашивать.

-- Ну, что, мой друг, как этак там, того... ты меня понимаешь?..

-- Слушаю, ваше благородие, здравия желаю вашему благородию.

244

-- Хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя поблагодарю, милый друг. Ну, вот видишь, как же, мой друг?

-- Что изволите спрашивать-с? -- Тут Остафьев попридержал немного рукою свой нечаянно раскрывшийся рот

-- Я вот, видишь ли, мой друг, я, того... а ты не думай чего-нибудь... Ну что, Андрей Филиппович здесь?..

-- Здесь-с.

-- И чиновники здесь?

-- И чиновники тоже-с, как следует-с.

-- И его превосходительство тоже?

-- И его превосходительство тоже-с. -- Тут писарь еще другой раз попридержал свой опять раскрывшийся рот и как-то любопытно и странно посмотрел на господина Голядкина. Герою нашему по крайней мере так показалось.

-- И ничего особенного такого нету, мой друг?

-- Нет-с; никак нет-с.

-- Этак обо мне, милый друг, нет ли чего-нибудь там, этак чего-нибудь только... а? только так, мой друг, понимаешь?

-- Нет-с, еще ничего не слышно покамест. -- Тут писарь опять попридержал свой рот и опять как-то странно взглянул на господина Голядкина. Дело в том, что герой наш старался теперь проникнуть в физиономию Остафьева, прочесть на ней кое-что, не таится ли чего-нибудь. И действительно, как будто что-то такое таилось; дело в том, что Остафьев становился всё как-то грубее и суше и не с таким уже участием, как с начала разговора, входил теперь в интересы господина Голядкина. "Он отчасти в своем праве, -- подумал господин Голядкин, -- ведь что ж я ему? Он, может быть, уже и получил с другой стороны. а потому и отлучился по самонужнейшей-то. А вот я ему и того..." Господин Голядкин понял, что время гривенников наступило.

-- Вот тебе, милый друг...

-- Чувствительно благодарен вашему благородию.

-- Еще более дам.

-- Слушаю, ваше благородие.

-- Теперь, сейчас еще более дам и, когда дело кончится, еще столько же дам. Понимаешь?

Писарь молчал, стоял в струнку и неподвижно смотрел на господина Голядкина.

-- Ну, теперь говори: про меня ничего не слышно?..

-- Кажется, что еще, покамест... того-с... ничего нет

245

покамест-с. -- Остафьев отвечал с расстановкой, тоже, как и господин Голядкин, наблюдая немного таинственный вид, подергивая немного бровями, смотря в землю, стараясь попасть в надлежащий тон и, одним словом, всеми силами стараясь наработать обещанное, потому что данное он уже считал за собою и окончательно приобретенным.

-- И неизвестно ничего?

-- Покамест еще нет-с.

-- А послушай... того... оно, может быть, будет известно?

-- Потом, разумеется, может быть, будет известно-с. "Плохо!" -- подумал герой наш.

-- Послушай, вот тебе еще, милый мой.  
-- Чувствительно благодарен вашему благородию.  
-- Вахрамеев был вчера здесь?..  
-- Были-с.  
-- А другого кого-нибудь не было ли?.. Припомни-ка, братец?  
Писарь порывлся с минутку в своих воспоминаниях и надлежащего ничего не припомнил.  
-- Нет-с, никого другого не было-с.  
-- Гм! -- Последовало молчание.  
-- Послушай, братец, вот тебе еще; говори всё, всю подноготную.  
-- Слушаю-с. -- Остафьев стоял теперь точно шелковый: того надобно было господину Голядкину.

-- Объясни мне, братец, теперь, на какой он ноге?  
-- Ничего-с, хорошо-с, -- отвечал писарь, во все глаза смотря на господина Голядкина.  
-- То есть как хорошо?  
-- То есть так-с. -- Тут Остафьев значительно подернул бровями. Впрочем, он решительно становился в тупик и не знал, что ему еще говорить. "Плохо!" -- подумал господин Голядкин.

-- Нет ли у них дальнейшего чего-нибудь с Вахрамеевым-то?  
-- Да и всё, как и прежде-с.  
-- Подумай-ка.  
-- Есть, говорят-с.  
-- А ну, что же такое?

Остафьев попридержал рукою свой рот.

-- Письма оттудова нет ли ко мне?  
-- А сегодня сторож Михеев ходил к Вахрамееву на  
246

квартиру, туда-с, к немке ихней-с, так вот я пойду и спрошу, если надобно.

-- Сделай одолжение, братец, ради создателя!.. Я только так... Ты, брат, не думай чего-нибудь, а я только так. Да расспроси, братец, разузнай, не готовится ли что-нибудь там на мой счет. Он-то как действует? вот мне что нужно; вот это ты и узнай, милый друг, а я тебя потом и поблагодарю, милый друг...

-- Слушаю-с, ваше благородие, а на вашем месте Иван Семеныч сели сегодня-с.

-- Иван Семеныч? А! да! неужели?

-- Андрей Филиппович указали им сесть-с...

-- Неужели? по какому же случаю? Разузнай это, братец, ради создателя, разузнай это, братец; разузнай это всё -- а я тебя поблагодарю, милый мой; вот что мне нужно... А ты не думай чего-нибудь, братец...

-- Слушаю-с, слушаю-с, тотчас сойду сюда-с. Да вы, ваше благородие, разве не войдете сегодня?

-- Нет, мой друг; я только так, я ведь так только, я посмотреть только пришел, милый друг, а потом я тебя и поблагодарю, милый мой.

-- Слушаю-с. -- Писарь быстро и усердно побежал вверх по лестнице, а господин Голядкин остался один.

"Плохо, -- подумал он. -- Эх, плохо, плохо! Эх, дельце-то наше... как теперь плоховато! Что бы это значило всё? что именно значили некоторые намеки этого пьяницы, например, и чья это штука? А! я теперь знаю, чья это штука. Это вот какая штука. Они, верно, узнали, да и посадили.. Впрочем, что ж, -- посадили? это Андрей Филиппович его посадил. Иванато Семеновича; да, впрочем, зачем же он его посадил и с какою именно целью посадил? Вероятно, узнали... Это Вахрамеев работает, то есть не Вахрамеев, он глуп, как простое осиновое бревно, Вахрамеев-то; а это они все за него работают, да и шельмеца-то за тем же самым сюда натравили; а немка нажаловалась, одноглазая! Я всегда подозревал, что вся эта интрига неспроста и что во всей этой бабьей, старушьей сплетне непременно есть что-

нибудь; то же самое я и Крестьяну Ивановичу говорил, что, дескать, поклялись зарезать, в нравственном смысле говоря, человека да и ухватились за Каролину Ивановну. Нет, тут мастера работают, видно! Тут, сударь мой, работает мастерская рука, а не Вахрамеев. Уже сказано, что глуп Вахрамеев, а это... я знаю теперь, кто здесь за них всех работает: это шельмец работает, самозванец

247

работает! На этом одном он и лепится, что доказывает отчасти и успехи его в высшем обществе. А действительно, желательно бы знать было, на какой он ноге теперь... что-то он там у них? Только зачем же они там взяли Ивана-то Семеновича? на какой им черт было нужно Ивана Семеновича? точно нельзя уж было достать другого кого. Впрочем, кого ни посади, всё было бы то же самое; а что я только знаю, так это то, что он, Иван-то Семенович, был мне давно подозрителен, я про него давно замечал: старикашка такой скверный, гадкий такой, -- говорят, на проценты дает и жидовские проценты берет. А ведь это всё медведь мастерит. Во всё это обстоятельство медведь замешался. Началось-то оно таким образом. У Измайловского моста оно началось; вот оно как началось..." Тут господин Голядкин сморщился, словно лимон разгрыз, вероятно припомнив что-нибудь весьма неприятное. "Ну, да ничего, впрочем! -- подумал он. -- А вот только я всё про свое. Что же это Остафьев нейдет; Вероятно, засел или был остановлен там как-нибудь. Это ведь и хорошо отчасти, что я так интригую и с своей стороны подкопы веду. Остафьеву только гривенник нужно дать, так он и того... и на моей стороне. Только вот дело в чем: точно ли он на моей стороне; может быть, они его тоже с своей стороны... и, с своей стороны согласясь с ним, интригу ведут. Ведь разбойником смотрит, мошенник, чистым разбойником! Таится, шельмец! "Нет, ничего, говорит, и чувствительно, дескать, вам, ваше благородие, говорит, благодарен". Разбойник ты этакой!"

Послышался шум... господин Голядкин съежился и прыгнул за печку. Кто-то сошел с лестницы и вышел на улицу. "Кто бы это так отпраивлялся теперь?" -- подумал про себя наш герой. Через минутку послышались опять чьи-то шаги... Тут господин Голядкин не вытерпел и высунул из-за своего бруствера маленький-маленький кончик носу, -- высунул и тотчас же осекся назад, словно кто ему булавкой нос уколол. На этот раз проходил известно кто, то есть шельмец, интригант и развратник, -- проходил по, обыкновению своим подленьким частым шажком, присеменявая и выкидывая ножками так, как будто бы собирался кого-то лягнуть. "Подлец!" -- проговорил про себя наш герой. Впрочем, господин Голядкин не мог не заметить, что у подлнца под мышкой был огромный зеленый портфель, принадлежавший его превосходительству. "Он это опять по особому", -- подумал господин Голядкин,

248

покраснев и съжившись еще более прежнего от досады. Только что господин Голядкин-младший промелькнул мимо господина Голядкина-старшего, совсем не заметив его, как послышались в третий раз чьи-то шаги, и на этот раз господин Голядкин догадался, что шаги были писарские. Действительно, какая-то примазанная писарская фигурка заглянула к нему за печку; фигурка, впрочем, была не Ос-тафьева, а другого писаря, Писаренки по прозвищу. Это изумило господина Голядкина. "Зачем же это он других в секрет замешал? -- подумал герой наш. -- Экие варвары! святого у них ничего не имеется!"

-- Ну, что, мой друг? -- проговорил он, обращаясь к Писаренке, -- ты, мой друг, от кого?..

-- Вот-с, по вашему дельцу-с. Ни от кого известий покамест нет никаких-с. А если будут, уведомим-с.

-- А Остафьев?..

-- Да ему, ваше благородие, никак нельзя-с. Его превосходительство уже два раза проходили по отделению, да и мне теперь некогда.

-- Спасибо, милый мой, спасибо тебе... Только ты мне скажи...

-- Ей-богу же, некогда-с... Поминутно нас спрашивают-с... А вот вы извольте здесь еще постоять-с, так если будет что-нибудь относительно вашего дельца-с, так мы вас уведомим-с...

-- Нет, ты, мой друг, ты скажи...

-- Позвольте-с; мне некогда-с, -- говорил Писаренко, порываясь от ухватившего его за полу господина Голядкина, -- право, нельзя-с. Вы извольте здесь еще постоять-с, так мы и уведомим.

-- Сейчас, сейчас, друг мой! сейчас, милый друг! Вот что теперь: вот письмо, мой друг; а я тебя поблагодарю, милый мой.

-- Слушаюсь-с.

-- Постарайся отдать, милый мой, господину Голядкину.

-- Голядкину?

-- Да, мой друг, господину Голядкину.

-- Хорошо-с; вот как уберусь, так снесу-с. А вы здесь стойте покамест. Здесь никто не увидит...

-- Нет, я, мой друг, ты не думай... я ведь здесь стою не для того, чтоб кто-нибудь не видел меня. А я, мой друг, теперь буду не здесь... буду вот здесь в переулочке. Кофейная есть здесь одна; так я там буду ждать, а ты,

249

если случится что, и уведомляй меня обо всем, понимаешь?

-- Хорошо-с. Пустите только; я понимаю...

-- А я тебя поблагодарю, милый мой! -- кричал господин Голядкин вслед освободившемуся наконец Писаренке... "Шельмец, кажется, грубее стал после, -- подумал герой наш, украдкой выходя из-за печки. -- Тут еще есть крючок. Это ясно... Сначала был и того, и сего... Впрочем, он и действительно торопился; может быть, дела там много. И его превосходительство два раза ходили по отделению... По какому бы это случаю было?.. Ух! да ну, ничего! оно, впрочем, и ничего, может быть, а вот мы теперь и посмотрим..."

Тут господин Голядкин отворил было дверь и хотел уже выйти на улицу, как вдруг, в это самое мгновение, у крыльца загрела карета его превосходительства. Не успел господин Голядкин опомниться, как отворились изнутри дверцы кареты и сидевший в ней господин выпрыгнул на крыльцо. Приехавший был не кто иной, как тот же господин Голядкин-младший, минут десять тому назад отлучившийся. Господин Голядкин-старший вспомнил, что квартира директора была в двух шагах. "Это он по особому", -- подумал наш герой про себя. Между тем господин Голядкин-младший, захватив из кареты толстый зеленый портфель и еще какие-то бумаги, приказав, наконец, что-то кучеру, отворил дверь, почти толкнув ею господина Голядкина-старшего, и, нарочно не заметив его и, следовательно, действуя таким образом ему в пику, пустился скоробежкой вверх по департаментской лестнице. "Плохо! -- подумал господин Голядкин, -- эх, дельце-то наше чего прихватило теперь! Ишь его, господи бог мой!" С полминутки еще простоял наш герой неподвижно; наконец он решился. Долго не думая, чувствуя, впрочем, сильное трепетание сердца и дрожь во всех членах, побежал он вслед за приятелем своим вверх по лестнице. "А! была не была; что же мне-то такое? я сторона в этом деле", -- думал он, снимая шляпу, шинель и калоши в передней.

Когда господин Голядкин вошел в свое отделение, были уже полные сумерки. Ни Андрея Филипповича, ни Антона Антоновича не было в комнате. Оба они находились в директорском кабинете с докладами; директор же, как по слухам известно было, в свою очередь спешил к его высокопревосходительству. Вследствие таковых обстоятельств, да еще потому, что и сумерки сюда подмешались и

250

кончалось время присутствия, некоторые из чиновников, преимущественно же молодежь, в ту самую минуту, когда вошел наш герой, занимались некоторого рода бездействием, сходились, разговаривали, толковали, смеялись, и даже кое-кто из самых

юнейших, то есть из самых бесчиновных чиновников, втихомолочку и под общий шумок составили орлянку в углу, у окошка. Зная приличие и чувствуя в настоящее время какую-то особенную надобность приобрести и "найти", господин Голядкин немедленно подошел кой к кому, с кем ладил получше, чтоб пожелать доброго дня и т. д. Но как-то странно ответили сослуживцы на приветствие господина Голядкина. Неприятно был он поражен какою-то всеобщей холодностью, сухостью, даже, можно сказать, какою-то строгостью приема. Руки ему не дал никто. Иные просто сказали "здравствуйте" и прочь отошли; другие лишь головою кивнули, кое-кто просто отвернулся и показал, что ничего не заметил; наконец, некоторые, -- и что было всего обиднее господину Голядкину, некоторые из самой бесчиновной молодежи, ребята, которые, как справедливо выразился о них господин Голядкин, умеют лишь в орлянку поиграть при случае да где-нибудь потаскаться, -- мало-помалу окружили господина Голядкина, сгруппировались около него и почти заперли ему выход. Все они смотрели на него с каким-то оскорбительным любопытством.

Знак был дурной. Господин Голядкин чувствовал это и благоразумно приготовился с своей стороны ничего не заметить. Вдруг одно совершенно неожиданное обстоятельство совсем, как говорится, доконало и уничтожило господина Голядкина.

В кучке молодых окружавших его сослуживцев вдруг, и, словно нарочно, в самую тоскливую минуту для господина Голядкина, появился господин Голядкин-младший, веселый по-всегдашнему, с улыбочкой по-всегдашнему, вертлявый тоже по-всегдашнему, одним словом: шалун, прыгун, лизун, хохотун, легок на язычок и на ножку, как и всегда, как прежде, точно так, как и вчера, например, в одну весьма неприятную минутку для господина Голядкина-старшего. Ослабившись, вертясь, семеня, с улыбочкой, которая так и говорила всем "доброго вечера", втерся он в кучку чиновников, тому пожал руку, этого по плечу потрепал, третьего обнял слегка, четвертому объяснил, по какому именно случаю был его превосходительством употреблен, куда ездил, что сделал, что с собою привез; пятого, и,

251

вероятно, своего лучшего друга, чмокнул в самые губки, -- одним словом, всё происходило точь-в-точь как во сне господина Голядкина-старшего. Напрыгавшись досыта, покончив со всяким по-своему, обделав их всех в свою пользу, нужно ль, не нужно ли было. налилавшись всласть с ними со всеми, господин Голядкин-младший вдруг, и, вероятно, ошибкой, еще не успев заметить до сих пор своего старейшего друга, протянул руку и господину Голядкину-старшему. Вероятно, тоже ошибкой, хотя, впрочем, и успев совершенно заметить неблагородного господина Голядкина-младшего, тотчас же жадно схватил наш герой простертую ему так неожиданно руку и пожал ее самым крепким, самым дружеским образом, пожал ее с каким-то странным, совсем неожиданным внутренним движением, с каким-то слезящимся чувством. Был ли обманут герой наш первым движением неблагопристойного врага своего, или так, не нашелся, или почувствовал и сознал в глубине души своей всю степень своей незащитности, -- трудно сказать. Факт тот, что господин Голядкин-старший, в здравом виде, по собственной воле своей и при свидетелях, торжественно пожал руку того, кого называл смертельным врагом своим. Но каково же было изумление, исступление и бешенство, каков же был ужас и стыд господина Голядкина-старшего, когда неприятель и смертельный враг его, неблагородный господин Голядкин-младший, заметив ошибку преследуемого, невинного и вероломно обманутого им человека, без всякого стыда, без чувств, без сострадания и совести, вдруг с нестерпимым нахальством и с грубостью вырвал свою руку из руки господина Голядкина-старшего мало того, -- стряхнул свою руку, как будто замарал ее через то в чем-то совсем нехорошем; мало того, -- плюнул на сторону, сопровождая всё это самым оскорбительным жестом; мало того, -- вынул платок свой и тут же, самым бесчиннейшим образом, вытер им все пальцы свои, побывавшие на минутку в руке господина Голядкина-старшего. Действуя таким образом, господин Голядкин-младший, по подленькому обыкновению своему, нарочно осматривался кругом, делал так, чтоб все видели его поведение

заглядывал всем в глаза и, очевидно, старался о внушении всем всего самого неблагоприятного относительно господина Голядкина. Казалось, что поведение отвратительного господина Голядкина-младшего возбудило всеобщее негодование окружающих чиновников; даже ветренная молодежь показала свое неудовольствие. Кругом

252

поднялся ропот и говор. Всеобщее движение не могло миновать ушей господина Голядкина-старшего; но вдруг кстати подоспевшая шуточка, накипевшая, между прочим, в устах господина Голядкина-младшего, разбила, уничтожила последние надежды героя нашего и наклонила баланс опять в пользу смертельного и бесполезного врага его.

-- Это наш русский Фоблаз, господа; позвольте вам рекомендовать молодого Фоблаза, -- запищал господин Голядкин-младший, с свойственной ему наглостью семени и вьюня меж чиновниками и указывая им на оцепеневшего и вместе с тем иступленного настоящего господина Голядкина. "Поцелуемся, душка!" -- продолжал он с нестерпимой фамильярностью, подвигаясь к предательски оскорбленному им человеку. Шуточка бесполезного господина Голядкина-младшего, кажется, нашла отголосок где следовало, тем более что в ней заключался коварный намек на одно обстоятельство, по-видимому, уже гласное и известное всем. Герой наш тяжко почувствовал руку врагов на плечах своих. Впрочем, он уже решился. С пылающим взором, с бледным лицом, с неподвижной улыбкой выбрался он кое-как из толпы и неровными, учащенными шагами направил свой путь прямо к кабинету его превосходительства. В предпоследней комнате встретился с ним только что выходявший от его превосходительства Андрей Филиппович, и хотя тут же в комнате было порядочно всяких других, совершенно посторонних в настоящую минуту для господина Голядкина лиц, но герой наш и внимания не хотел обратить на подобное обстоятельство. Прямо, решительно, смело, почти сам себе удивляясь и внутренне себя за смелость похваливая, абордировал он, не теряя времени, Андрея Филипповича, порядочно изумленного таким нечаянным нападением.

-- А!.. что вы... что вам угодно? -- спросил начальник отделения, не слушая запнувшегося на чем-то господина Голядкина.

-- Андрей Филиппович, я... могу ли я, Андрей Филиппович, иметь теперь, тотчас же и глаз на глаз, разговор с его превосходительством? -- речисто и отчетливо проговорил наш герой, устремив самый решительный взгляд на Андрея Филипповича.

-- Что-с? конечно нет-с. -- Андрей Филиппович с ног до головы обмерил взглядом своим господина Голядкина.

-- Я, Андрей Филиппович, всё это к тому говорю, что

253

удивляюсь, как никто здесь не обличит самозванца и подлеца.

-- Что-о-с?

-- Подлеца, Андрей Филиппович.

-- О ком же это угодно таким образом относиться?

-- Об известном лице, Андрей Филиппович. Я, Андрей Филиппович, на известное лицо намекаю; я в своем праве... Я думаю, Андрей Филиппович, что начальство должно было бы поощрять подобные движения, -- прибавил господин Голядкин, очевидно не помня себя, -- Андрей Филиппович... вы, вероятно, сами видите, Андрей Филиппович, что это благородное движение и всяческую мою благонамеренность означает, -- принять начальника за отца, Андрей Филиппович, принимаю, дескать, благодетельное начальство за отца и слепо веряю судьбу свою. Так и так, дескать... вот как... -- Тут голос господина Голядкина задрожал, лицо его покраснелось, и две слезы набежали на обеих ресницах его.

Андрей Филиппович, слушая господина Голядкина, до того удивился, что как-то невольно отшатнулся шага на два назад. Потом с беспокойством осмотрелся кругом... Трудно сказать, чем бы кончилось дело... Но вдруг дверь из кабинета его превосходительства отворилась, и он сам вышел в сопровождении некоторых чиновников.

За ним потянулись все, кто ни был в комнате. Его превосходительство подозвал Андрея Филипповича и пошел с ним рядом, заведя разговор о каких-то делах. Когда все тронулись и пошли вон из комнаты, опомнился и господин Голядкин. Присмирив, приютился он под крылышко Антона Антоновича Сеточкина, который сзади всех ковылял в свою очередь и, как показалось господину Голядкину, с самым строгим и озабоченным видом. "Проврался я и тут, нагадил и тут, -- подумал он про себя, -- да ну, ничего".

-- Надеюсь, что по крайней мере вы, Антон Антонович, согласитесь прослушать меня и вникнуть в мои обстоятельства, -- проговорил он тихо и еще немного дрожащим от волнения голосом. -- Отверженный всеми, обращаюсь я к вам. Недоумеваю до сих пор, что значили слова Андрея Филипповича, Антон Антонович. Объясните мне их, если можно...

-- Своевременно всё объяснится-с, -- строго и с расстановкою отвечал Антон Антонович и, как показалось господину Голядкину, с таким видом, который ясно давал знать, что Антон Антонович вовсе не желает продолжать

254

разговора. -- Узнаете в скором времени всё-с. Сегодня же форменно обо всем известитесь.

-- Что же такое форменно, Антон Антонович? почему же так именно форменно-с? -- робко спросил наш герой.

-- Не нам с вами рассуждать, Яков Петрович, как начальство решает.

-- Почему же начальство, Антон Антонович, -- проговорил господин Голядкин, оробев еще более, -- почему же начальство? Я не вижу причины, почему же тут нужно беспокоить начальство, Антон Антонович... Вы, может быть, что-нибудь относительно вчерашнего хотите сказать, Антон Антонович?

-- Да нет-с, не вчерашнее-с; тут кое-что другое хромает-с у вас.

-- Что же хромает, Антон Антонович? мне кажется, Антон Антонович, что у меня ничего не хромает.

-- А хитрить-то с кем собирались? -- резко пересек Антон Антонович совершенно оторопевшего господина Голядкина. Господин Голядкин вздрогнул и побледнел как платок.

-- Конечно, Антон Антонович, -- проговорил он едва слышным голосом, -- если внимать голосу клеветы и слушать врагов наших, не приняв оправдания с другой стороны, то, конечно... конечно, Антон Антонович, тогда можно и пострадать, Антон Антонович, безвинно и ни за что пострадать.

-- То-то-с; а неблагопристойный поступок ваш во вред репутации благородной девицы того добродетельного, почтенного и известного семейства, которое вам благодетельствовало?

-- Какой же это поступок, Антон Антонович?

-- То-то-с. А относительно другой девицы, хотя бедной, но зато честного иностранного происхождения, похвального поступка своего тоже не знаете-с?

-- Позвольте, Антон Антонович... благоволите, Антон Антонович, выслушать...

-- А вероломный поступок ваш и клевета на другое лицо -- обвинение другого лица в том, в чем сами грешка прихватили? а? это как называется?

-- Я, Антон Антонович, не выгонял его, -- проговорил, затрепетав, наш герой, -- и Петрушку, то есть человека моего, подобному ничему не учил-с... Он ел мой хлеб, Антон Антонович; он пользовался гостеприимством моим, --

255

прибавил выразительно и с глубоким чувством герой наш, так что подбородок его запрыгал немножко и слезы готовы были опять навернуться.

-- Это вы, Яков Петрович, только так говорите, что он хлеб-то ваш ел, -- отвечал, осклабясь, Антон Антонович, и в голосе его было слышно лукавство, так что по сердцу скребнуло у господина Голядкина.

-- Позвольте еще вас, Антон Антонович, нижайше спросить: известны ли обо всем этом деле его превосходительство?

-- Как же-с! Впрочем, вы теперь пустите меня-с. Мне с вами тут некогда... Сегодня же обо всем узнаете, что вам следует знать-с.

-- Позвольте, ради бога, еще на минутку, Антон Антонович...

-- После расскажете-с...

-- Нет-с, Антон Антонович; я-с, видите-с, прислушайте только, Антон Антонович... Я совсем не вольнодумство, Антон Антонович, я бегу вольнодумства; я совершенно готов с своей стороны и даже пропускал ту идею...

-- Хорошо-с, хорошо-с. Я уж слышал-с...

-- Нет-с, этого вы не слыхали, Антон Антонович. Это другое, Антон Антонович, это хорошо, право хорошо, и приятно слышать... Я пропускал, как выше объяснил, ту идею, Антон Антонович, что вот промысл божий создал двух совершенно подобных, а благодетельное начальство, видя промысл божий, приютили двух близнецов-с. Это хорошо, Антон Антонович. Вы видите, что это очень хорошо, Антон Антонович, и что я далек вольнодумства. Принимаю благодетельное начальство за отца. Так и так, дескать, благодетельное начальство, а вы, того... дескать... молодому человеку нужно служить... Поддержите меня, Антон Антонович, заступитесь за меня, Антон Антонович... Я ничего-с... Антон Антонович, ради бога, еще одно словечко... Антон Антонович...

Но уже Антон Антонович был далеко от господина Голядкина... Герой же наш не знал, где стоял, что слышал, что делал, что с ним сделалось и что еще будут делать с ним, -- так смутило его и потрясло всё им слышанное и всё с ним случившееся.

Умоляющим взором отыскивал он в толпе чиновников Антона Антоновича, чтоб еще более оправдаться в глазах его и сказать ему что-нибудь крайне благонамеренное и весьма благородное и приятное относительно себя самого..

256

Впрочем, мало-помалу, новый свет начинал пробиваться сквозь смущение господина Голядкина, новый, ужасный свет, озаривший перед ним вдруг, разом, целую перспективу совершенно неведомых доселе и даже нисколько не подозреваемых обстоятельств... В эту минуту кто-то толк-пул совершенно сбившегося героя нашего под бок. Он оглянулся. Перед ним стоял Писаренко.

-- Письмо-с, ваше благородие.

-- А!.. ты уже ходил, милый мой?

-- Нет, это еще утром в десять часов сюда принесли-с. Сергей Михеев, сторож, принес-с, с квартиры губернского секретаря Вахрамеева.

-- Хорошо, мой друг, хорошо, а я тебя поблагодарю, милый мой.

Сказав это, господин Голядкин спрятал письмо в боковой карман своего вицмундира и застегнул его на все пуговицы; потом осмотрелся кругом и, к удивлению своему, заметил, что уже находится в сенях департаментских, в кучке чиновников, столпившихся к выходу, ибо кончилось присутствие. Господин Голядкин не только не замечал до сих пор этого последнего обстоятельства, но даже не заметил и не помнил того, каким образом он вдруг очутился в шинели, в калошах и держал свою шляпу в руках. Все чиновники стояли неподвижно и в почтительном ожидании. Дело в том, что его превосходительство остановился в низу лестницы, в ожидании своего почему-то замешкавшегося экипажа, и вел весьма интересный разговор с двумя советниками и с Андреем Филипповичем. Немного поодаль от двух советников и Андрея Филипповича стоял Антон Антонович Сеточкин и кое-кто из других чиновников, которые весьма улыбались, видя, что его превосходительство изволит шутить и смеяться. Столпившиеся на верху лестницы чиновники тоже улыбались и ждали, покамест его превосходительство опять засмеется. Не улыбался лишь только один Федосеич, толстопузый швейцар, державшийся у ручки дверей, вытянувшийся в струнку и с нетерпением ожидавший порции своего обыденного удовольствия, состоявшего в том, чтоб разом, одним взмахом руки, широко откинуть одну

половинку дверей и потом, согнувшись в дугу, почтительно пропустить мимо себя его превосходительство. Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствие недостойный и неблагородный враг господина Голядкина. Он в это мгновение даже позабыл всех чиновников, даже оставил вьюнить и семенить между

257

ними, по своему подленькому обыкновению, даже позабыл, пользуясь случаем, подлизаться к кому-нибудь в это мгновение. Он обратился весь в слух и зрение, как-то странно съежился, вероятно чтоб удобнее слушать, не спуская глаз с его превосходительства, и изредка только подергивало его руки, ноги и голову какими-то едва заметными судорогами, обличавшими все внутренние, сокровенные движения души его.

"Ишь его разбирает! -- подумал герой наш, -- фаворитом смотрит, мошенник! Желал бы я знать, чем он именно берет в обществе высокого тона? Ни ума, ни характера, ни образования, ни чувства; везет шельмецу! Господи боже! ведь как это скоро может пойти человек, как подумаешь, и "найти" во всех людях! И пойдет человек, клятву даю, что пойдет далеко, шельмец, доберется, -- везет шельмецу! Желал бы я еще узнать, что именно такое он всем им нашептывает? Какие тайны у него со всем этим народом заводятся и про какие секреты они говорят? Господи боже! Как бы мне этак, того... и с ними бы тоже немножко... дескать, так и так, попросить его разве... дескать, так и так, а я больше не буду; дескать, я виноват, а молодому человеку, ваше превосходительство, нужно служить в наше время; обстоятельством же темным моим я отнюдь не смущаюсь, -- вот оно как! протестовать там каким-нибудь образом тоже не буду, и всё с терпением и смирением снесу, -- вот как! Вот разве так поступить?.. Да, впрочем, его не проймешь, шельмеца, никаким словом не пробьешь; резону-то ему вгвоздить нельзя в забубенную голову... А впрочем, попробуем. Случится, что в добрый час попаду, так вот и попробоваться..."

В беспокойстве своем, в тоске и смущении, чувствуя, что так оставаться нельзя, что наступает минута решительная, что нужно же с кем-нибудь объясниться, герой наш стал было понемножку подвигаться к тому месту, где стоял недостойный и загадочный приятель его; но в самое это время у подъезда загредел давно ожидаемый экипаж его превосходительства. Федосеич рванул дверь и, согнувшись в три дуги, пропустил его превосходительство мимо себя. Все ожидавшие разом хлынули к выходу и оттеснили на мгновение господина Голядкина-старшего от господина Голядкина-младшего. "Не уйдешь!" -- говорил наш герой, прорываясь сквозь толпу и не спуская глаз с кого следовало. Наконец толпа раздалась. Герой наш почувствовал себя на свободе и ринулся в погоню за своим неприятелем.

258

## Глава XI

Дух занимался в груди господина Голядкина; словно на крыльях летел он вслед за своим быстро удалявшимся неприятелем. Чувствовал он в себе присутствие страшной энергии. Впрочем, несмотря на присутствие страшной энергии, господин Голядкин мог смело надеяться, что в настоящую минуту даже простой комар, если бы только он мог в такое время жить в Петербурге, весьма бы удобно перешиб его крылом своим. Чувствовал он еще, что опал и ослаб совершенно, что несет его какою-то совершенно особенною и постороннюю силою, что он вовсе не сам идет, что, напротив, его ноги подкашиваются и служат отказываются. Впрочем, это всё могло бы устроиться к лучшему. "К лучшему -- не к лучшему, -- думал господин Голядкин, почти задыхаясь от скорого бега, -- но что дело проиграно, так в том теперь и сомнения малейшего нет; что пропал я совсем, так уж это известно, определено, решено и подписано". Несмотря на всё это, герой наш словно из мертвых воскрес, словно баталию выдержал, словно победу схватил, когда пришлось ему уцепиться за шинель своего неприятеля, уже заносившего одну ногу на дрожки куда-то

только что сговоренного им ваньки. "Милостивый государь! милостивый государь! -- закричал он наконец настигнутому им неблагородному господину Голядкину-младшему. -- Милостивый государь, я надеюсь, что вы..."

-- Нет, вы уж, пожалуйста, ничего не надейтесь, -- уклончиво отвечал бесчувственный неприятель господина Голядкина, стоя одною ногою на одной ступеньке дрожек, а другою изо всех сил порываясь попасть на другую сторону экипажа, тщетно махая ею по воздуху, стараясь сохранить экилибр и вместе с тем стараясь всеми силами отцепить шинель свою от господина Голядкина-старшего, за которую тот, с своей стороны, уцепился всеми данными ему природою средствами.

-- Яков Петрович! только десять минут...

-- Извините, мне некогда-с.

-- Согласитесь сами, Яков Петрович... пожалуйста, Яков Петрович... ради бога, Яков Петрович... так и так -- объясниться... на смелую ногу... Секундочку, Яков Петрович!..

-- Голубчик мой, некогда, -- отвечал с неучтивою фамильярностью, но под видом душевной доброты, ложно благородный неприятель господина Голядкина, -- в другое

259

время, поверьте, от полноты души и от чистого сердца; но теперь -- вот, право ж, нельзя.

"Подлец!" -- подумал герой наш.

-- Яков Петрович! -- закричал он тоскливо, -- я вашим врагом никогда не бывал. Злые же люди несправедливо меня описали... С своей стороны я готов... Яков Петрович, угодно, мы с вами, Яков Петрович, вот тотчас зайдем?.. И там от чистого сердца, как несправедливо сказали вы тотчас, и языком прямым, благородным... вот в эту кофейную: тогда всё само собой объяснится, -- вот как, Яков Петрович! Тогда непременно всё само собой объяснится...

-- В кофейную? хорошо-с. Я не прочь, зайдем в кофейную, с одним только условием, радость моя, с единым условием, -- что там всё само собой объяснится. Дескать, так и так, душа, -- проговорил господин Голядкин-младший, слезая с дрожек и бесстыдно потрепав героя нашего по плечу, -- дружище ты этакой; для тебя, Яков Петрович, я готов переулочком (как справедливо в оно время вы, Яков Петрович, заметить изволили). Ведь вот плут, право, что захочет, то и делает с человеком! -- продолжал ложный друг господина Голядкина, с легкой улыбочкой вертясь и увиваясь около него.

Отдаленная от больших улиц кофейная, куда вошли оба господина Голядкина, была в эту минуту совершенно пуста. Довольно толстая немка появилась у прилавка, едва только слышался звон колокольчика. Господин Голядкин и недостойный неприятель его прошли во вторую комнату, где одутловатый и остриженный под гребенку мальчишка возился с вязанкою щепок около печки, силясь возобновить в ней погасавший огонь. По требованию господина Голядкина-младшего подан был шоколад.

-- А пресдобная бабенка, -- проговорил господин Голядкин-младший, плутовски мигнув господину Голядкину-старшему.

Герой наш покраснел и смолчал.

-- А, да, позабыл, извините. Знаю ваш вкус. Мы, сударь, лакомы до тоненьких немочек; мы, дескать, душа ты правдивая, Яков Петрович, лакомы с тобою до тоненьких, хотя, впрочем, и не лишенных еще приятности немочек; квартиры у них нанимаем, их нравственность соблазняем, за бир-суп да мильх-суп наше сердце им посвящаем да разные подписки даем, -- вот что мы делаем, Фоблаз ты такой, предатель ты этакой!

260

Всё это проговорил господин Голядкин-младший, делая, таким образом, совершенно бесполезный, хотя, впрочем, и злодейски хитрый намек на известную особу женского пола, увиваясь около господина Голядкина, улыбаясь ему под видом любезности, ложно показывая, таким образом, радушие к нему и радость при встрече с ним. Замечая же, что господин Голядкин-старший вовсе не так глуп и вовсе не до того лишен образованности и манер хорошего тона, чтоб сразу поверить ему, неблагородный человек решился

переменить свою тактику и повести дела на открытую ногу. Тут же, проговорив свою гнусность, фальшивый господин Голядкин заключил тем, что с возмущающим душу бесстыдством и фамильярностью потрепал солидного господина Голядкина по плечу и, не удовольствовавшись этим, пустился заигрывать с ним совершенно неприличным в обществе хорошего тона образом, именно вознамерился повторить свою прежнюю гнусность, то есть, несмотря на сопротивление и легкие крики возмущенного господина Голядкина-старшего, ущипнуть его за щеку. При виде такого разврата герой наш вскипел и смолчал... до времени, впрочем.

-- Это речь врагов моих, -- ответил он наконец, благоразумно сдерживая себя, трепещущим голосом. В то же самое время герой наш с беспокойством оглянулся на дверь. Дело в том, что господин Голядкин-младший был, по-видимому, в превосходном расположении духа и в готовности пуститься на разные шуточки, непозволительные в общественном месте и, вообще говоря, не допускаемые законами света, и преимущественно в обществе высокого тона.

-- А, ну, в таком случае, как хотите, -- серьезно возразил господин Голядкин-младший на мысль господина Голядкина-старшего, поставив свою опустелую чашку, выпитую им с неприличною жадностью, на стол. -- Ну-с, мне с вами долго нечего, впрочем... Ну-с, каково-то вы теперь поживаете, Яков Петрович?

-- Одно только могу сказать я вам, Яков Петрович, -- хладнокровно и с достоинством отвечал наш герой, -- врагом вашим я никогда не бывал.

-- Гм... ну, а Петрушка? как бишь! Петрушка ведь, кажется? -- ну, да! что, каков? хорошо? по-прежнему?

-- И он тоже по-прежнему, Яков Петрович, -- отвечал немного изумленный господин Голядкин-старший. -- Я не знаю, Яков Петрович... с моей стороны... с благородной,

261

с откровенной стороны, Яков Петрович, согласитесь сами, Яков Петрович...

-- Да-с. Но вы сами знаете, Яков Петрович, -- отвечал тихим и выразительным голосом господин Голядкин-младший, фальшиво изображая собою, таким образом, грустного, полного раскаяния и сожаления достойного человека, -- сами вы знаете, время наше тяжелое... Я на вас пошлюсь, Яков Петрович; человек вы умный и справедливо рассудите, -- включил господин Голядкин-младший, подло льстя господину Голядкину-старшему. -- Жизнь не игрушка, сами вы знаете, Яков Петрович, -- многозначительно заключил господин Голядкин-младший, прикидываясь, таким образом, умным и ученым человеком, который может рассуждать о высоких предметах.

-- С своей стороны, Яков Петрович, -- с одушевлением отвечал наш герой, -- с своей стороны, презирая окольным путем и говоря смело и откровенно, говоря языком прямым, благородным и поставив всё дело на благородную доску, скажу вам, могу открыто и благородно утверждать, Яков Петрович, что я чист совершенно и что, сами вы знаете, Яков Петрович, обоюдное заблуждение, -- всё может быть, -- суд света, мнение раболепной толпы... Я говорю откровенно, Яков Петрович, всё может быть. Еще скажу, Яков Петрович, если так судить, если с благородной и высокой точки зрения на дело смотреть, то смело скажу, без ложного стыда скажу, Яков Петрович, мне даже приятно будет открыть, что я заблуждался, мне даже приятно будет сознаться в том. Сами вы знаете, вы человек умный, а сверх того, благородный. Без стыда, без ложного стыда готов в этом сознаться... -- с достоинством и благородством заключил наш герой.

-- Рок, судьба! Яков Петрович... но оставим всё это, -- со вздохом проговорил господин Голядкин-младший. -- Употребим лучше краткие минуты нашей встречи на более полезный и приятный разговор, как следует между двумя сослуживцами... Право, мне как-то не удавалось с вами двух слов сказать во всё это время... В этом не я виноват, Яков Петрович...

-- И не я, -- с жаром перебил наш герой, -- и не я! Сердце мое говорит мне, Яков Петрович, что не я виноват во всем этом. Будем обвинять судьбу во всем этом, Яков

Петрович, -- прибавил господин Голядкин-старший совершенно примирительным тоном. Голос его начинал мало-помалу слабеть и дрожать.

262

-- Ну, что? как вообще ваше здоровье? -- произнес заблудшийся сладким голосом.

-- Немного покашливаю, -- отвечал еще слаще герой наш.

-- Берегитесь. Теперь всё такие поветрия, немудрено схватить жабу, и я, признаюсь вам, начинаю уже кутаться во фланель.

-- Действительно, Яков Петрович, немудрено схватить жабу-с... Яков Петрович! -- произнес после кроткого молчания герой наш. -- Яков Петрович! я вижу, что я заблуждался... Я с умилением вспоминаю о тех счастливых минутах, которые удалось нам провести вместе под бедным, но, смею сказать, радушным кровом моим...

-- В письме вашем вы, впрочем, не то написали, -- отчасти с укоризною проговорил совершенно справедливый (впрочем, единственно только в этом отношении совершенно справедливый) господин Голядкин-младший.

-- Яков Петрович! я заблуждался... Ясно вижу теперь, что заблуждался и в этом несчастном письме моем. Яков Петрович, мне совестно смотреть на вас, Яков Петрович, вы не поверите... Дайте мне это письмо, чтоб разорвать его, в ваших же глазах, Яков Петрович, или если уж этого никак невозможно, то умоляю вас читать его наоборот, -- совсем наоборот, то есть нарочно с намерением дружеским, давая обратный смысл всем словам письма моего. Я заблуждался. Простите меня, Яков Петрович, я совсем... я горестно заблуждался, Яков Петрович.

-- Вы говорите? -- довольно рассеянно и равнодушно спросил вероломный друг господина Голядкина-старшего.

-- Я говорю, что я совсем заблуждался, Яков Петрович, и что с моей стороны я совершенно без ложного стыда...

-- А, ну, хорошо! Это очень хорошо, что вы заблуждались, -- грубо отвечал господин Голядкин-младший.

-- У меня, Яков Петрович, даже идея была, -- прибавил благородным образом откровенный герой наш, совершенно не замечая ужасного вероломства своего ложного друга, -- у меня даже идея была, что, дескать, вот, создались два совершенно подобные...

-- А! это ваша идея!..

Тут известный своею бесполезностью господин Голядкин-младший встал и схватился за шляпу. Всё еще не замечая обмана, встал и господин Голядкин-старший, простодушно и благородно улыбаясь своему лжеприятелю,

263

стараясь, в невинности своей, его приласкать, ободрить и завязать с ним, таким образом, новую дружбу...

-- Прощайте, ваше превосходительство! -- вскрикнул вдруг господин Голядкин-младший. Герой наш вздрогнул, заметив в лице врага своего что-то даже вакхическое, -- и, единственно чтоб только отвязаться, сунул в простертую ему руку безнравственного два пальца своей руки; но тут... тут бесстыдство господина Голядкина-младшего превзошло все ступени. Схватив два пальца руки господина Голядкина-старшего и сначала пожав их, недостойный тут же, в глазах же господина Голядкина, решился повторить свою утреннюю бесстыдную шутку. Мера человеческого терпения была истощена...

Он уже прятал платок, которым обтер свои пальцы, в карман, когда господин Голядкин-старший опомнился и ринулся вслед за ним в соседнюю комнату, куда, по скверной привычке своей, тотчас же поспешил улизнуть непримиримый враг его. Как будто ни в одном глазу, он стоял себе у прилавка, ел пирожки и преспокойно, как добродетельный человек, любезничал с немкой-кондитершей. "При дамах нельзя", -- подумал герой наш и подошел тоже к прилавку, не помня себя от волнения.

-- А ведь действительно бабенка-то недурна! Как вы думаете? -- снова начал свои неприличные выходки господин Голядкин-младший, вероятно рассчитывая на бесконечное

терпение господина Голядкина. Толстая же немка, с своей стороны, смотрела на обоих своих посетителей оловянно-бессмысленными глазами, очевидно не понимая русского языка и приветливо улыбаясь. Герой наш вспыхнул как огонь от слов не знающего стыда господина Голядкина-младшего и, не в силах владеть собою, бросился наконец на него с очевидным намерением растерзать его и повершить с ним, таким образом, окончательно; но господин Голядкин-младший, по подлому обыкновению своему, уже был далеко: он дал тягу, он уже был на крыльце. Само собой разумеется, что после первого мгновенного столбняка, естественно нашедшего на господина Голядкина-старшего, он опомнился и бросился со всех ног за обидчиком, который уже садился на поджидавшего его и, очевидно, во всем согласившегося с ним ваньку. Но в это самое мгновение толстая немка, видя бегство двух посетителей, взвизгнула и позвонила что было силы в свой колокольчик. Герой наш почти на лету обернулся назад, бросил ей деньги за себя и за незаплатившего бесстыдного

264

человека, не требуя сдачи, и, несмотря на то что промешкал, все-таки успел, хотя и опять на лету только, подхватить своего неприятеля. Уцепившись за крыло дрожек всеми данными ему природою средствами, герой наш неся некоторое время по улице, карабкаясь на экипаж, отстаиваемый из всех сил господином Голядкиным-младшим. Извозчик между тем и кнутом, и вожжой, и ногой, и словами понукал свою разбитую клячу, которая совсем неожиданно понеслась вскачь, закусив удила и лягаясь, по скверной привычке своей, задними ногами на каждом третьем шагу. Наконец наш герой успел-таки взмоститься на дрожки, лицом к своему неприятелю, спиной упираясь в извозчика, коленками в коленки бесстыдного, а правой рукой своей всеми средствами вцепившись в весьма скверный меховой воротник шинели развратного и ожесточеннейшего своего неприятеля...

Враги неслись и некоторое время молчали. Герой наш едва переводил дух; дорога была прескверная, и он подскакивал на каждом шагу с опасностью сломить себе шею. Сверх того, ожесточенный неприятель его всё еще не соглашался признать себя побежденным и старался спихнуть в грязь своего противника. К довершению всех неприятностей погода была ужаснейшая. Снег валил хлопьями и всячески старался, с своей стороны, каким-нибудь образом залезть под распахнувшуюся шинель настоящего господина Голядкина. Кругом было мутно и не видно ни зги. Трудно было отличить, куда и по каким улицам несутся они... Господину Голядкину показалось, что сбывается с ним что-то знакомое. Одно мгновение он старался припомнить, не предчувствовал ли он чего-нибудь вчера... во сне например... Наконец тоска его доросла до последней степени своей агонии. Налегши на беспощадного противника своего, он начал было кричать. Но крик его замирал у него на губах... Была минута, когда господин Голядкин всё позабыл и решил, что все это совсем ничего, и что это так только, как-нибудь, необъяснимым образом делается, и протестовать по этому случаю было бы лишним и совершенно потерянным делом... Но вдруг, и почти в то самое мгновение, как герой наш заключал это всё, какой-то неосторожный толчок переменял весь смысл дела. Господин Голядкин, как куль муки, свалился с дрожек и покатился куда-то, совершенно справедливо сознаваясь в минуту падения, что действительно и весьма некстати погорячился. Вскочив наконец, он увидел, что куда-то приехали;

265

дрожки стояли среди чьего-то двора, и герой наш с первого взгляда заметил, что это двор того самого дома, в котором квартирует Олсуфий Иванович. В то же самое мгновение заметил он, что приятель его пробирается уже на крыльцо и, вероятно, к Олсуфью Ивановичу. В неописанной тоске своей бросился было он догонять своего неприятеля, но, к счастью своему, благоразумно одумался вовремя. Не забыв расплатиться с извозчиком, бросился господин Голядкин на улицу и побежал что есть мочи куда глаза глядят. Снег валил по-прежнему хлопьями; по-прежнему было мутно, мокро и темно. Герой наш не

шел, а летел, опрокидывая всех на дороге, -- мужиков, и баб, и детей, и сам в свою очередь отскакивая от баб, мужиков и детей. Кругом и вслед ему слышался пугливый говор, визг, крик... Но господин Голядкин, казалось, был без памяти и внимания ни на что не хотел обратить... Опомнился он, впрочем, уже у Семеновского моста, да и то по тому только случаю, что успел как-то неловко задеть и опрокинуть двух баб с их каким-то походным товаром, а вместе с тем и сам повалиться. "Это ничего, -- подумал господин Голядкин, -- всё это еще весьма может устроиться к лучшему", -- и тут же полез в свой карман, желая отделаться рублем серебра за просыпанные пряники, яблоки, горох и разные разности. Вдруг новым светом озарило господина Голядкина; в кармане ошупал он письмо, переданное ему поутру писарем. Вспомнив, между прочим, что есть у него недалеко знакомый трактир, забежал он в трактир, не медля ни минуты пристроился к столику, освещенному сальною свечкою, и, не обращая ни на что внимания, не слушая полового, явившегося за приказаниями, сломал печать и начал читать нижеследующее, окончательно его поразившее:

"Благородный, за меня страдающий  
и навеки милый сердцу моему человек!

Я страдаю, я погибаю, -- спаси меня! Клеветник, интригант и известный бесполезностью своего направления человек опутал меня сетями своими, и я погибла! Я пала! Но он мне противен, а ты!.. Нас разлучали, мои письма к тебе перехватывали -- и всё это сделал безнравственный, воспользовавшись одним своим лучшим качеством, -- сходством с тобою. Во всяком же случае можно быть дурным собою, но пленять умом, сильным чувством и приятными манерами... Я погибаю! Меня отдают насильно, и всего

267

более интригует здесь родитель, благодетель мой и статский советник Олсуфий Иванович, вероятно желая занять мое место и мои отношения в обществе высокого тона... Но я решилась и протестую всеми данными мне природою средствами. Жди меня с каретой своей сегодня, ровно в девять часов, у окон квартиры Олсуфия Ивановича. У нас опять бал и будет красивый поручик. Я выйду, и мы полетим. К тому же есть и другие служебные места, где еще можно приносить пользу отечеству. Во всяком случае вспомни, мой друг, что невинность сильна уже своею невинностью. Прощай. Жди с каретой у подъезда. Брошусь под защиту объятий твоих ровно в два часа пополуночи.

Твоя до гроба

Клара Олсуфьевна".

Прочтя письмо, герой наш остался на несколько минут как бы пораженный. В страшной тоске, в страшном волнении, бледный как платок, с письмом в руках, прошелся он несколько раз по комнате; к довершению бедствия своего положения, герой наш не заметил, что был в настоящую минуту предметом исключительного внимания всех находившихся в комнате. Вероятно, беспорядок костюма его, несдерживаемое волнение, ходьба или, лучше сказать, беготня, жестикуляция обеими руками, может быть, несколько загадочных слов, сказанных на ветер и в забывчивости, --вероятно, всё это весьма плохо зарекомендовало господина Голядкина в мнении всех посетителей; и даже сам половой начинал поглядывать на него подозрительно. Очнувшись, герой наш заметил, что стоит посреди комнаты и почти неприличным, невежливым образом смотрит на одного весьма почтенной наружности старичка, который, пообедав и помолясь перед образом богу, уселся опять и, с своей стороны, тоже не сводил глаз с господина Голядкина. Смутно оглянувшись кругом наш герой и заметил, что все, решительно все смотрят на него с видом самым зловещим и подозрительным. Вдруг один отставной военный, с красным воротником, громко потребовал "Полицейские ведомости". Господин Голядкин вздрогнул и покраснел: как-то нечаянно опустил он глаза в землю и увидел, что был в таком

неприличном костюме, в котором и у себя дома ему быть нельзя, не только в общественном месте. Сапоги, панталоны и весь левый бок его были совершенно в грязи, штрипка на правой ноге оторвана, а фрак даже разорван во многих местах. В неистощимой тоске своей подошел наш

267

герой к столу, за которым читал, и увидел, что к нему подходит трактирный служитель с каким-то странным и дерзко-настоятельным выражением в лице. Потерявшись и опав совершенно, герой наш начал рассматривать стол, за которым стоял теперь. На столе стояли неубранные тарелки после чьего-то обеда, лежала замаранная салфетка и валялись только что бывшие в употреблении нож, вилка и ложка. "Кто ж это обедал? -- подумал герой наш. -- Неужели я? А всё может быть! Пообедал, да так и не заметил себе; как же мне быть?" Подняв глаза, господин Голядкин увидел опять подле себя полового, который собирался ему что-то сказать.

-- Сколько с меня, братец? -- спросил наш герой трепещущим голосом.

Громкий смех раздался кругом господина Голядкина; сам половой усмехнулся. Господин Голядкин понял, что и на этом срезался и сделал какую-то страшную глупость. Поняв всё это, он до того сконфузился, что принужден был полезть в карман за платком своим, вероятно чтобы что-нибудь сделать и так не стоять; но, к неопisanному своему и всех окружавших его изумлению, вынул вместо платка стклянку с каким-то лекарством, дня четыре тому назад прописанным Крестьяном Ивановичем. "Медикаменты в той же аптеке", -- пронеслось в голове господина Голядкина... Вдруг он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый свет проливался... Темная, красновато-отвратительная жидкость зловещим отсветом блеснула в глаза господину Голядкину... Пузырек выпал у него из рук и тут же разбился. Герой наш вскрикнул и отскочил шага на два назад от пролившейся жидкости... он дрожал всеми членами, и пот пробивался у него на висках и на лбу. "Стало быть, жизнь в опасности!" Между тем в комнате произошло движение, смятение; все окружали господина Голядкина, все говорили господину Голядкину, некоторые даже хватали господина Голядкина. Но герой наш был нем и недвижим, не видя ничего, не слыша ничего, не чувствуя ничего... Наконец, как будто с места сорвавшись, бросился он вон из трактира, растолкал всех и каждого из стремившихся удержать его, почти без чувств упал на первые попавшиеся ему извозчицьи дрожки и полетел на квартиру.

В сенях квартиры своей встретил он Михеева, сторожа департаментского, с казенным пакетом в руках. "Знаю, друг мой, всё знаю, -- отвечал слабым, тоскливым голосом

268

изнуренный герой наш, -- это официальное..." В пакете действительно было предписание господину Голядкину, за подписью Андрея Филипповича, сдать находившиеся у него на руках дела Ивану Семеновичу. Взяв пакет и дав сторожу гривенник, господин Голядкин пришел в квартиру свою и увидел, что Петрушка готовит и собирает в одну кучу весь свой дряг и хлам, все свои вещи, очевидно намереваясь оставить господина Голядкина и переехать от него к переманившей его Каролине Ивановне, чтоб заменить ей Евстафия.

## Глава XII

Петрушка вошел, покачиваясь, держась как-то странно-небрежно и с какой-то холопски-торжественной миной в лице. Видно было, что он что-то задумал, чувствовал себя вполне в своем праве и смотрел совершенно посторонним человеком, то есть чьим-то другим служителем, но только никак не прежним служителем господина Голядкина.

-- Ну, вот видишь, мой милый, -- начал, задыхаясь, герой наш, -- который теперь час, милый мой?

Петрушка молча отправился за перегородку, потом воротился и довольно независимым тоном объявил, что уж скоро половина восьмого.

-- Ну, хорошо, мой милый, хорошо. Ну, видишь, мой милый... позволь тебе сказать, милый мой, что между нами, кажется, теперь кончено всё.

Петрушка молчал.

-- Ну, теперь, как уж всё между нами кончилось, скажи ты мне теперь откровенно, как другу скажи, где ты был, братец?

-- Где был? Между добрых людей-с.

-- Знаю, мой друг, знаю. Я тобою был постоянно доволен, мой милый, и аттестат тебе дам... Ну, что же ты у них теперь?

-- Что же, сударь! сами изволите знать-с. Известно-с, добрый человек худому тебя не научит.

-- Знаю, мой милый, знаю. Нынче добрые люди редки, мой друг; цени их, мой друг. Ну, как же они?

-- Известно-с, как-с... Только я у вас, сударь, больше служить теперь не могу-с; сами изволите знать-с.

-- Знаю, милый мой, знаю; твою ревность и усердие знаю; я видел всё это, друг мой, я замечал. Я, мой друг,

269

тебя уважаю. Я доброго и честного человека, будь он и лакей, уважаю.

-- Что ж, известно-с! Наш брат, конечно, сами изволите знать-с, где лучше. Уж так оно-с. Что мне! Известно, сударь, что уж без доброго человека нельзя-с.

-- Ну, хорошо, братец, хорошо; я это чувствую.. Ну вот твои деньги и вот твой аттестат. Теперь поцелуемся братец, простимся с тобою... Ну, теперь, милый мой, я у тебя попрошу одной услуги, последней услуги, -- сказал господин Голядкин торжественным тоном. -- Видишь ли, милый мой, всякое бывает. Горе, друг мой, кроется и в позлащенных палатах, и от него никуда не уйдешь. Ты знаешь, мой друг, я, кажется, с тобою всегда ласков был...

Петрушка молчал.

-- Я, кажется, с тобой всегда ласков был, милый мой... Ну, сколько у нас теперь белья, милый мой?

-- Да всё налицо-с. Рубашек холстинковых шесть-с; карпеток три пары; четыре манишки-с; фуфайка фланелевая; из нижнего платья две штуки-с. Сами знаете, всё-с. Я, сударь, вашего ничего-с... Я, сударь, барское добро берегу-с. Я вами, сударь, того-с... известно-с... а греха какого за мной -- никогда, сударь; уж это сами знаете, сударь...

-- Верю, друг мой, верю. Я не про то, мой друг, не про то; видишь ли, вот что, мой друг...

-- Известно, сударь-с; уж это мы знаем-с. Я вот когда еще у генерала Столбняка служил-с, так отпускали меня, уезжали сами в Саратов... вотчина там у них...

-- Нет, мой друг, не про то; я ничего... ты не думай чего, милый друг мой...

-- Известно-с. Что уж нашего брата-с, сами изволите знать-с, долго ли поклепать человека-с. А мною были довольны везде-с. Были министры, генералы, сенаторы, графы-с. Бывал у всех-с, у князя Свинчаткина-с, у Переборкина, полковника-с, у Недобарова, генерала, тоже ходили-с, в вотчину ездили к нашим-с. Известно-с...

-- Да, мой друг, да; хорошо, мой друг, хорошо. Вот и я теперь, мой друг, уезжаю... Путь всякому разный лежит, милый мой, и неизвестно, на какую дорогу каждый человек попасть может. Ну, мой друг, дай же ты мне одеться теперь; да, ты вицмундир мой тоже положишь... брюки другие, простыни, одеяла, подушки...

-- В узел прикажете всё завязать-с?

-- Да, мой друг, да; пожалуй, и в узел... Кто знает, что

270

может с нами случиться. Ну, теперь, милый мой, сходишь и приищешь карету...

-- Карету-с?..

-- Да, мой друг, карету, просторнее и на известное время. А ты, мой друг, не думай чего-нибудь...

-- А далеко уезжать хотите-с?

-- Не знаю, мой друг, этого тоже не знаю. Перину тоже, я думаю, туда же положить нужно будет. Как ты сам думаешь, друг мой? я на тебя полагаюсь, мой милый...

-- Нешто сейчас изволите уезжать-с?

-- Да, мой друг, да! Обстоятельство вышло такое... вот оно как, милый мой, вот оно как...

-- Известно, сударь; вот у нас в полку с поручиком то же самое было-с; там у помещика-с... увезли-с...

-- Увез?.. Как! милый мой, ты...

-- Да-с, увезли-с и в другой усадьбе венчались. Всё было заране готово-с. Погоня была-с; князь тут только-с вступились, покойник-с, -- ну, и уладили дело-с...

-- Венчались, да... ты как же, мой милый? ты-то каким же образом, милый мой, знаешь?

-- Да уж известно-с, что-с! Слухом земля, сударь, полнится. Знаем, сударь, мы всё-с... конечно, с кем же греха не бывало. Только я вам скажу теперь, сударь, позвольте мне попросту, сударь, по-холопски сказать; уж коль теперь на то пошло, так уж я вам скажу, сударь: есть у вас враг, -- суперника вы, сударь, имеете, сильный суперник, вот-с...

-- Знаю, мой друг, знаю; сам ты, милый мой, знаешь... Ну, так вот я на тебя полагаюсь. Как же нам теперь делать, мой друг? как ты мне посоветуешь?

-- А вот, сударь, если вы так теперь, таким, примерно сказать, манером пошли, сударь, так вот вам понадобится там что покупать-с, -- ну, там простыни, подушки, перину-другую-с, двуспальную-с, одеяло хорошее-с, -- так вот здесь у соседки-с, внизу-с: мешанка, сударь, она; лисий салоп есть хороший; так можно его посмотреть и купить, можно сейчас сходить посмотреть-с. Оно же вам надобно, сударь, теперь-с; хороший салоп-с, атласом крытый-с, на лисьем меху-с...

-- Ну, хорошо, мой друг, хорошо; я согласен, мой друг, я на тебя полагаюсь, вполне полагаюсь; пожалуй, хоть и салоп, милый мой... Только поскорей, поскорей! ради бога, поскорей! Я и салоп куплю, только, пожалуйста, поскорей! Скоро восемь часов, скорей, ради бога, мой друг! поторопись, поскорее, мой друг!..

271

Петрушка бросил недовязанный узел белья, подушек, одеяла, простынь и всякого дрязгу, что стал было вместе собирать и увязывать, и стремглав бросился вон из комнаты. Господин Голядкин между тем схватился еще раз за письмо -- но читать его он не мог. Схватив в обе руки свою победную голову, он в изумлении прислонился к стене. Думать ни о чем он не мог, делать что-нибудь тоже не мог; он и сам не знал, что с ним делается. Наконец, видя, что время проходит, а ни Петрушки, ни салопа еще не являлось, господин Голядкин решил пойти сам. Растворив дверь в сени, он услышал внизу шум, говор, спор и толки... Несколько соседок болтали, кричали, судили, рядили о чем-то, -- уж это господин Голядкин знал, о чем именно. Слышался голос Петрушки; потом послышались чьи-то шаги. "Боже ты мой! Они сюда весь свет созовут!" -- простонал господин Голядкин, ломая руки в отчаянии и бросаясь назад в свою комнату. Прибежав в свою комнату, он упал, почти не помня себя, на диван, лицом в подушку. С минутку полежав таким образом, он вскочил и, не дожидаясь Петрушки, надел свои калоши, шляпу, шинель, захватил свой бумажник и побежал стремглав с лестницы. "Ничего не нужно, ничего, милый мой! я сам, я всё сам. Тебя покамест не нужно, а между тем дело, может быть, и уладится к лучшему", -- пробормотал господин Голядкин Петрушке, встретив его на лестнице; потом выбежал на двор и вон из дому; сердце его замирало; он еще не решался... Как ему быть, что ему делать, как ему в настоящем и критическом случае поступить...

-- Ведь вот: как поступить, господи бог мой? И нужно же было быть всему этому! -- вскричал он наконец в отчаянии, куда глаза глядят, наудачу ковыляя по улице, -- нужно же было быть всему этому! Ведь вот не будь этого, вот именно этого, так всё бы уладилось; разом, одним ударом, одним ловким, энергическим, твердым ударом уладилось бы. Палец

даю на отсечение, что уладилось бы! И даже знаю, каким именно образом уладилось бы. Оно; бы вот как всё сделалось: я бы тут и того -- дескать, так и так, а мне, сударь мой, с позволения сказать, ни туда ни сюда; дескать, дела так не делаются; дескать, сударь вы мой, милостивый мой государь, дела так не делаются и самозванством у нас не возьмешь; самозванец, сударь вы мой, человек, того -- бесполезный и пользы отечеству не приносящий. Понимаете ли вы это? Дескать, понимаете ли вы это, милостивый мой государь?! Вот бы как оно и того...

272

Да нет, впрочем, что же... оно вовсе ведь не того, совсем не того... Я-то что вру, дурак дураком! я-то, самоубийца я этакой! Оно, дескать, самоубийца ты этакой, совсем не того... Вот, однако, развращенный ты человек, вот оно как теперь делается!.. Ну, куда я денусь теперь? ну, что я, например, буду делать теперь над собой? ну, куда я гожусь теперь? ну, куда ты, примером сказать, годишься теперь, Голядкин ты этакой, недостойный ты этакой! Ну, что теперь? карету брать нужно; возьми, дескать, да подай ей карету сюда; дескать, ножки замочим, если кареты не будет... И вот, кто бы подумать мог? Ай да барышня, ай, сударыня вы моя! ай да благодного поведения девица! ай да хваленая наша. Отличились, сударыня, нечего сказать, отличились!.. А это всё происходит от безнравственности воспитания; а я, как теперь порассмотрел да пораскусил это всё, так и вижу, что это не от иного чего происходит, как от безнравственности. Чем бы смолоду ее, того... да и розгой подчас, а они ее конфетами, а они ее сладостями разными пичкают, и сам старикашка нюнит над ней: дескать, ты такая моя да сякая моя, ты хорошая, дескать, за графа отдам тебя!.. А вот она и вышла у них и показала нам теперь свои карты; дескать, вот у нас игра какова! чем бы дома держать ее смолоду, а они ее в пансион, к мадам француженке, к эмигрантке Фальбала там какой-нибудь; а она там добру всякому учится у эмигрантки-то Фальбала, -- вот оно и выходит таким-то всё образом. Дескать, подите, порадитесь! Дескать, будьте в карете вот в таком-то часу перед окнами и романс чувствительный по-испански пропойте; жду вас, и знаю, что любите, и убежим с вами вместе, и будем жить в хижине. Да, наконец, оно и нельзя; оно, сударыня вы моя, -- если на то уж пошло, -- так оно и нельзя, так оно и законами запрещено честную и невинную девицу из родительского дома увозить без согласия родителей! Да, наконец, и зачем, почему и какая тут надобность? Ну, вышла бы там себе за кого следует, за кого судьбой предназначено, так и дело с концом. А я человек служащий; а я место мое могу потерять из-за этого; я, сударыня вы моя, под суд могу попасть из-за этого! вот оно что! коль не знали. Это немка работает. Это от нее, ведьмы, всё происходит, все сыры-боры от нее загораются. Потому что оклеветали человека, потому что выдумали на него сплетню бабью, небылицу в лицах, по совету Андрея Филипповича, оттого и происходит. Иначе почему же Петрушке тут вмешиваться?

273

ему-то тут что? шельмецу-то какая тут надобность? Нет, я не могу, сударыня, никак не могу, ни за что не могу... А вы меня, сударыня, на этот раз уж как-нибудь там извините. Это от вас, сударыня, всё происходит, это не от немки всё происходит, вовсе не от ведьмы, а чисто от вас, потому что ведьма добрая женщина, потому что ведьма не виновата ни в чем, а вы, сударыня вы моя, виноваты, -- вот оно как! Вы, сударыня, вы меня в напраслину вводите... Тут человек пропадает, тут сам от себя человек исчезает и самого себя не может сдерживать, -- какая тут свадьба! И как это кончится всё? и как это теперь устроится? Дорого бы я дал, чтоб узнать это всё!..

Так рассуждал в отчаянии своем наш герой. Очнувшись вдруг, заметил он, что где-то стоит на Литейной. Погода была ужасная: была оттепель, валил снег, шел дождь, -- ну точь-в-точь как в то незабвенное время, когда, в страшный полночный час, начались все несчастья господина Голядкина. "Какой тут вояж! -- думал господин Голядкин, смотря на погоду, -- тут всеобщая смерть... Господи бог мой! ну где мне, например, здесь карету сыскать? Вон там на углу, кажется, что-то чернеется. Посмотрим, исследуем... Господи бог

мой! -- продолжал наш герой, направив слабые и шаткие шаги свои в ту сторону, где увидел что-то похожее на карету. -- Нет, я вот как сделаю: отправлюсь, паду к ногам, если можно, униженно буду испрашивать. Дескать, так и так; в ваши руки судьбу свою предаю, в руки начальства; дескать, ваше превосходительство, защитите и облагодетельствуйте человека; так и так, дескать, вот то-то и то-то, противозаконный поступок; не погубите, принимаю вас за отца, не оставьте... амбицию, честь, имя и фамилию спасите... и от злодея, развращенного человека, спасите... Он другой человек, ваше превосходительство, а я тоже другой человек; он особо, и я тоже сам по себе; право, сам по себе, ваше превосходительство, право, сам по себе; дескать, вот оно как. Дескать, походить на него не могу; перемените, благоволите, велите переменить -- и безбожный, самовольный подмен уничтожить... не в пример другим, ваше превосходительство. Принимаю вас за отца; начальство, конечно, благодетельное и попечительное начальство подобные движения должно поощрять... Тут есть даже несколько рыцарского. Дескать, принимаю вас, благодетельное начальство, за отца и вверяю судьбу свою и прекословить не буду, вверяюсь и сам отстраняюсь от дел... дескать, вот оно как!"

274

-- Ну, что, мой милый, извозчик?

-- Извозчик...

-- Карету, брат, на вечер...

-- А далеко ли ехать изволите-с?

-- На вечер, на вечер; куда б ни пришлось, милый мой, куда б ни пришлось.

-- Нешто за город ехать изволите?

-- Да, мой друг, может, и за город. Я еще сам наверно не знаю, мой друг, не могу тебе наверно сказать, милый мой. Оно, видишь ли, милый мой, может быть, всё и уладится к лучшему. Известно, мой друг...

-- Да, уж известно, сударь, конечно; дай бог всякому.

-- Да, мой друг, да; благодарю тебя, милый мой; ну, что же ты возьмешь, милый мой?..

-- Сейчас изволите ехать-с?

-- Да, сейчас, то есть нет, подождешь в одном месте... так, немножко, недолго подождешь, милый мой...

-- Да если уж на всё время берете-с, так уж меньше шести целковых, по погоде, нельзя-с...

-- Ну, хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя поблагодарю, милый мой. Ну, так вот ты меня и повезешь теперь, милый мой.

-- Садитесь; позвольте, вот я здесь оправлю маленько; извольте садиться теперь. Куда ехать прикажете?

-- К Измайловскому мосту, мой друг.

Извозчик-кучер взгромоздился на козла и тронул было пару тощих кляч, которых насилу оторвал от корыта с сеном, к Измайловскому мосту. Но вдруг господин Голядкин дернул снурок, остановил карету и попросил умоляющим голосом поворотить назад, не к Измайловскому мосту, а в одну другую улицу. Кучер поворотил в другую улицу, и чрез десять минут новоприобретенный экипаж господина Голядкина остановился перед домом, в котором квартировал его превосходительство. Господин Голядкин вышел из кареты, попросил своего кучера убедительно подождать и сам взбежал с замирающим сердцем вверх, во второй этаж, дернул за снурок, дверь отворилась, и наш герой очутился в передней его превосходительства.

-- Его превосходительство дома изволят быть? -- спросил господин Голядкин, адресуясь таким образом к отворившему ему человеку.

-- А вам чего-с? -- спросил лакей, оглядывая с ног до головы господина Голядкина.

275

-- А я, мой друг, того... Голядкин, чиновник, титулярный советник Голядкин. Дескать, так и так, объясниться...

-- Обождите; нельзя-с...

-- Друг мой, я не могу обождать: мое дело важное, не терпящее отлагательства дело...

-- Да вы от кого? Вы с бумагами?..

-- Нет, я, мой друг, сам по себе... Доложи, мой друг, дескать, так и так, объясниться. А я тебя поблагодарю, милый мой...

-- Нельзя-с. Не велено принимать; у них гости-с. Пожалуйста утром в десять часов-с...

-- Доложите же, милый мой; мне нельзя, невозможно мне ждать... Вы, милый мой, за это ответите...

-- Да ступай, доложи; что тебе: сапогов жаль, что ли? -- проговорил другой лакей, развалившийся на залавке и до сих пор не сказавший ни слова.

-- Сапогов топтать! Не велел принимать, знаешь? Ихняя чередка по утрам.

-- Доложи. Язык, что ли, отвалится?

-- Да я-то доложу: язык не отвалится. Не велел: сказано -- не велел. Войдите в комнату-то.

Господин Голядкин вошел в первую комнату; на столе стояли часы. Он взглянул: половина девятого. Сердце у него зануло в груди. Он было уже хотел воротиться; но в эту самую минуту долговязый лакей, став на пороге следующей комнаты, громко провозгласил фамилию господина Голядкина. "Эко ведь горло! -- подумал в неописанной тоске наш герой... -- Ну, сказал бы ты: того... дескать, так и так, покорнейше и смиренно пришел объясниться, -- того... благоволи́те принять... А теперь вот и дело испорчено, вот и всё мое дело на ветер пошло; впрочем... да, ну -- ничего..." Рассуждать, впрочем, нечего было. Лакей воротился, сказал "пожалуйста" и ввел господина Голядкина в кабинет.

Когда наш герой вошел, то почувствовал, что как будто ослеп, ибо решительно ничего не видал. Мелькнули, впрочем, две-три фигуры в глазах: "Ну, да это гости", -- мелькнуло у господина Голядкина в голове. Наконец наш герой стал ясно отличать звезду на черном фраке его превосходительства, потом, сохраняя постепенность, перешел и к черному фраку, наконец получил способность полного созерцания...

-- Что-с? -- проговорил знакомый голос над господином Голядкиным.

276

-- Титулярный советник Голядкин, ваше превосходительство. Ну?

-- Пришел объясниться...

-- Как?.. Что?..

-- Да уж так. Дескать, так и так, пришел объясниться, ваше превосходительство-с...

-- Да вы... да кто вы такой?..

-- Го-го-господин Голядкин, ваше превосходительство, титулярный советник.

-- Ну, так чего же вам нужно?

-- Дескать, так и так, принимаю его за отца; сам отстраняюсь от дел, и от врага защитите, -- вот как!

-- Что такое?..

-- Известно...

-- Что известно?

Господин Голядкин молчал; подбородок его начинало понемногу подергивать...

-- Ну?

-- Я думал, рыцарское, ваше превосходительство... Что здесь, дескать, рыцарское, и начальника за отца принимаю... дескать, так и так, защитите, сле... слезно м...молю, и что такие дви...движения долж...но по...по...поощрять...

Его превосходительство отвернулось. Герой наш несколько мгновений не мог ничего разглядеть своими глазами. Грудь его теснило. Дух занимался. Он не знал, где стоял... Было как-то стыдно и грустно ему. Бог знает, что было после... Очнувшись, герой наш заметил, что его превосходительство говорит с своими гостями и как будто резко и сильно рассуждает с ними о чем-то. Одного из гостей господин Голядкин тотчас узнал. Это был Андрей Филиппович; другого же нет; впрочем, лицо было как будто тоже знакомое, --

высокая, плотная фигура, лет пожилых, одаренная весьма густыми бровями и бакенбардами и выразительным, резким взглядом. На шее незнакомца был орден, а во рту сигарка. Незнакомец курил и, не вынимая сигары изо рта, значительно кивал головою, взглядывая по временам на господина Голядкина. Господину Голядкину стало как-то неловко; он отвел свои глаза в сторону и тут же увидел еще одного весьма странного гостя. В дверях, которые герой наш принимал доселе за зеркало, как некогда тоже случилось с ним, появился он -- известно кто, весьма короткий знакомый и друг господина

277

Голядкина. Господин Голядкин-младший действительно находился до сих пор в другой маленькой комнатке и что-то спешно писал; теперь, видно, понадобилось -- и он явился, с бумагами под мышкой, подошел к его превосходительству и весьма ловко, в ожидании исключительного к своей особе внимания, успел втереться в разговор и совет, заняв свое место немного по-за спиной Андрея Филипповича и отчасти маскируясь незнакомцем, курящим сигарку. По-видимому, господин Голядкин-младший принимал крайнее участие в разговоре, который подслушивал теперь благородным образом, кивал головою, семенил ножками, улыбался, поминутно взглядывал на его превосходительство, как будто бы умолял взором, чтоб и ему тоже позволили ввернуть, свои полсловечка. "Подлец!" -- подумал господин Голядкин и невольно ступил шаг вперед. В это время генерал оборотился и сам довольно нерешительно подошел к господину Голядкину.

-- Ну, хорошо, хорошо; ступайте с богом. Я порассмотрю ваше дело, а вас велю проводить... -- Тут генерал взглянул на незнакомца с густыми бакенбардами. Тот, в знак согласия, кивнул головою.

Господин Голядкин чувствовал и понимал ясно, что его принимают за что-то другое, а вовсе не так, как бы следовало. "Так или этак, а объясниться ведь нужно, -- подумал он, -- так и так, дескать, ваше превосходительство". Тут в недоумении своем опустил он глаза в землю и, к крайнему своему изумлению, увидел на сапогах его превосходительства значительное белое пятно. "Неужели лопнули?" -- подумал господин Голядкин. Вскоре, однако ж, господин Голядкин открыл, что сапоги его превосходительства вовсе не лопнули, а только сильно отсвечивали, -- феномен, совершенно объяснившийся тем, что сапоги были лакированные и сильно блестели. "Это называется блик, -- подумал герой наш, -- особенно же сохраняется это название в мастерских художников; в других же местах этот отсвет называется светлым ребром". Тут господин Голядкин поднял глаза и увидел, что пора говорить, потому что дело весьма могло повернуться к худому концу... Герой наш ступил шаг вперед.

-- Дескать, так и так, ваше превосходительство, -- сказал он, -- а самозванством в наш век не возьмешь.

Генерал ничего не отвечал, а сильно позвонил за снурок колокольчика. Герой наш еще ступил шаг вперед.

-- Он подлый и развращенный человек, ваше

278

превосходительство, -- сказал наш герой, не помня себя, замирая от страха и при всем том смело и решительно указывая на недостойного близнеца своего, семенившего в это мгновение около его превосходительства, -- так и так, дескать, а я на известное лицо намекаю.

Последовало всеобщее движение за словами господина Голядкина. Андрей Филиппович и незнакомая фигура закивали своими головами; его превосходительство дергал в нетерпении из всех сил за снурок колокольчика, дозываясь людей. Тут господин Голядкин-младший выступил вперед в свою очередь.

-- Ваше превосходительство, -- сказал он, -- униженно прошу позволения вашего говорить. -- В голосе господина Голядкина-младшего было что-то крайне решительное; всё в нем показывало, что он чувствует себя совершенно в праве своем.

-- Позвольте спросить вас, -- начал он снова, предупреждая усердием своим ответ его превосходительства и обращаясь в этот раз к господину Голядкину, -- позвольте спросить вас, в чьем присутствии вы так объясняетесь? перед кем вы стоите, в чьем кабинете находитесь?.. -- Господин Голядкин-младший был весь в необыкновенном волнении, весь красный и пылающий от негодования и гнева; даже слезы в его глазах показались.

-- Господа Бассаврюковы! -- проревел во всё горло лакей, появившись в дверях кабинета. "Хорошая дворянская фамилья, выходцы из Малороссии", -- подумал господин Голядкин и тут же почувствовал, что кто-то весьма дружеским образом налег ему одною рукою на спину; потом и другая рука налегла ему на спину; подлый близнец господина Голядкина юлил впереди, показывая дорогу, и герой наш ясно увидел, что его, кажется, направляют к большим дверям кабинета. "Точь-в-точь как у Олсуфия Ивановича", -- подумал он и очутился в передней. Оглянувшись, он увидел подле себя двух лакеев его превосходительства и одного близнеца.

-- Шинель, шинель, шинель, шинель друга моего! шинель моего лучшего друга! --защебетал развратный человек, вырывая из рук одного человека шинель и набрасывая ее, для подлой и неблагоприятной насмешки, прямо на голову господину Голядкину. Выбиваясь из-под шинели своей, господин Голядкин-старший ясно услышал смех двух лакеев. Но, не слушая ничего и не вникая ничему постороннему, он уж выходил из передней и

279

очутился на освещенной лестнице. Господин Голядкин-младший -- за ним.

-- Прощайте, ваше превосходительство! -- закричал он вслед господину Голядкину-старшему.

-- Подлец! -- проговорил вне себя наш герой.

-- Ну, и подлец...

-- Развратный человек!

-- Ну, и развратный человек... -- отвечал таким образом достойному господину Голядкину недостойный неприятель его и, по свойственной ему подлости, глядел с высоты лестницы, прямо и не смигнув глазом, в глаза господину Голядкину, как будто прося его продолжать. Герой наш плюнул от негодования и выбежал на крыльцо; он был так убит, что совершенно не помнил, кто и как посадил его в карету. Очнувшись, увидел он, что его везут по Фонтанке. "Стало быть, к Измайловскому мосту? -- подумал господин Голядкин... Тут господину Голядкину захотелось еще о чем-то подумать, но нельзя было; а было что-то такое ужасное, чего и объяснить невозможно... -- Ну, ничего!" -- заключил наш герой и поехал к Измайловскому мосту.

## Глава XIII

...Казалось, что погода хотела перемениться к лучшему. Действительно, мокрый снег, валивший доселе целыми тучами, начал мало-помалу редеть, редеть и наконец почти совсем перестал. Стало видно небо, и на нем там и сям заискрились звездочки. Было только мокро, грязно, сыро и удушливо, особенно для господина Голядкина, который и без того уже едва дух переводил. Вымокшая и отяжелевшая шинель его пронимала все его члены какою-то неприятно теплою сыростью и тяжестью своею подламывала и без того уже сильно ослабевшие ноги его. Какая-то лихорадочная дрожь гуляла острыми и едкими мурашками по всему его телу; изнеможение точило из него холодный болезненный пот, так что господин Голядкин позабыл уже при сем удобном случае повторить с свойственною ему твердостью и решимостью свою любимую фразу, что оно и всё-то авось, может быть, как-нибудь, наверное, непременно возьмет да и уладится к лучшему. "Впрочем, это всё еще ничего покамест", -- прибавил крепкий и не унывающий духом герой наш, отирая с лица своего капли холодной

воды, струившейся по всем направлениям с полей круглой и до того взмокшей шляпы его, что уже вода не держалась на ней. Прибавив, что это всё еще ничего, герой наш попробовал было присесть на довольно толстый деревянный обрубок, валявшийся возле кучи дров на дворе Олсуфья Ивановича. Конечно, об испанских серенадах и о шелковых лестницах нечего уже было думать; но об укромном уголке, хотя и не совсем теплом, но зато уютном и скрытном, нужно же было подумать. Сильно соблазнял его, мимоходом сказать, тот самый уголок в сенях квартиры Олсуфья Ивановича, где прежде еще, почти в начале сей правдивой истории, выстоял свои два часа наш герой, между шкафом и старыми ширмами, между всяким домашним и ненужным дрязгом, хламом и рухлядью. Дело в том, что и теперь господин Голядкин стоял и выжидал уже целые два часа на дворе Олсуфья Ивановича. Но относительно укромного и уютного прежнего уголка существовали теперь некоторые неудобства, прежде не существовавшие. Первое неудобство -- то, что, вероятно, это место теперь замечено и приняты насчет его некоторые предохранительные меры со времени истории на последнем бале у Олсуфья Ивановича; а во-вторых, должно же было ждать условного знака от Клары Олсуфьевны, потому что непременно должен же был существовать какой-нибудь этакой знак условный. Так всегда делалось, и, "дескать, не нами началось, не нами и кончится". Господин Голядкин тут же, кстати, мимоходом припомнил какой-то роман, уже давно им прочитанный, где героиня подала условный знак Альфреду совершенно в подобном же обстоятельстве, привязав к окну розовую ленточку. Но розовая ленточка теперь, ночью, и при санкт-петербургском климате, известном своею сыростью и ненадежностью, в дело идти не могла и, одним словом, была совсем невозможна. "Нет, тут не до шелковых лестниц, -- подумал герой наш, -- а я лучше здесь так себе, укромно и втихомолочку... я лучше вот, например, здесь стану", -- и выбрал местечко на дворе, против самых окон, около кучи складенных дров. Конечно, на дворе ходило много посторонних людей, форейторов, кучеров; к тому же стучали колеса и фыркали лошади и т. д.; но все-таки место было удобное: заметят ли, не заметят ли, а теперь по крайней мере выгода та, что дело происходит некоторым образом в тени и господина Голядкина не видит никто; сам же он мог видеть решительно всё. Окна были сильно

освещены; был какой-то торжественный съезд у Олсуфья Ивановича. Музыка, впрочем, еще не было слышно. "Стало быть, это не бал, а так, по какому-нибудь другому случаю съехались, -- думал, отчасти замирая, герой наш. -- Да сегодня ли, впрочем? -- пронеслось в его голове. -- Не ошибка ли в числе? Может быть, всё может быть... Оно вот это как может быть всё... Оно еще, может быть, вчера было письмо-то написано, а ко мне не дошло, и потому не дошло, что Петрушка сюда замешался, шельмец он такой! Или завтра написано, то есть, что я... что завтра нужно было всё сделать, то есть с каретой-то ждать..." Тут герой наш похолодел окончательно и полез в свой карман за письмом, чтоб справиться. Но письма, к удивлению его, не оказалось в кармане. "Как же это? -- прошептал полумертвый господин Голядкин, -- где же это я оставил его? Стало быть, я его потерял? -- этого еще недоставало! -- простонал он наконец в заключение. -- Ну, если оно в недобрые руки теперь попадет? (Да, может, попало уже!) Господи! что из этого воспоследует! Будет такое, что уж... Ах ты, судьба ты моя ненавистная!" Тут господин Голядкин как лист задрожал при мысли, что, может быть, неблагопристойный близнец его, набрасывая ему шинель на голову, имел именно целью похитить письмо, о котором как-нибудь там пронюхал от врагов господина Голядкина. "К тому же он перехватывает, -- подумал герой наш, -- доказательством же... да что доказательством!.." После первого припадка и столбняка ужаса кровь бросилась в голову господина Голядкина. Со стоном и скрежеща зубами, схватил он себя за горячую голову, опустил на свой обрубок и начал думать о чем-то... Но мысли как-то ни о чем не вязались в его голове. Мелькали какие-то лица, припоминались, то неясно, то резко, какие-то давно забытые происшествия, лезли в

голову какие-то мотивы каких-то глупых песен... Тоска, тоска была неестественная! "Боже мой! Боже мой! -- подумал, несколько очнувшись, герой наш, подавляя глухое рыдание в груди, -- подай мне твердость духа в неистощимой глубине моих бедствий! Что пропал я, исчез совершенно -- в этом уж нет никакого сомнения, и это всё в порядке вещей, ибо и быть не может никаким другим образом. Во-первых, я места лишился, непременно лишился, никак не мог не лишиться... Ну, да положим, оно и уладится как-нибудь там. Деньжонок же моих, положим, и достанет на первый раз; там -- квартиренку другую какую-нибудь,

282

мёбелишки какой-нибудь нужно же... Петрушки же, во-первых, не будет со мной. Я могу и без шельмеца... этак от жильцов; ну, хорошо! И входишь и уходишь, когда мне угодно, да и Петрушка не будет ворчать, что поздно приходишь, -- вот оно как; вот почему от жильцов хорошо... Ну, да положим, это всё хорошо; только как же я всё не про то говорю, вовсе не про то говорю?" Тут мысль о настоящем положении опять озарила память господина Голядкина. Он оглянулся кругом. "Ах ты, господи бог мой! Господи бог мой! да о чем же это я теперь говорю?" -- подумал он, растерявшись совсем и хватая себя за свою горячую голову...

-- Нешто скоро, сударь, изволите ехать? -- произнес голос над господином Голядкиным. Господин Голядкин вздрогнул; но перед ним стоял его извозчик, тоже весь до нитки измокший и продрогший, от нетерпения и от нечего делать вздумавший заглянуть к господину Голядкину за дрова.

-- Я, мой друг, ничего... я, мой друг, скоро, очень скоро, а ты подожди...

Извозчик ушел, ворча себе под нос. "Об чем же он это ворчит? -- думал сквозь слезы господин Голядкин. -- Ведь я его нанял же на вечер, ведь я, того... в своем праве теперь... вот оно как! на вечер нанял, так и дело с концом. Хоть и так простишь, всё равно. Всё в моей воле. Волен ехать и волен не ехать. И что вот здесь за дровами стою, так и это совсем ничего... и не смеешь ничего говорить; дескать, барину хочется за дровами стоять, вот он и стоит за дровами... и чести ничьей не марает, -- вот оно как! Вот оно как, сударыня вы моя, если только это вам хочется знать. А в хижине, сударыня вы моя, дескать, так и так, в наш век никто не живет. Оно вот что! А без благонравия в наш промышленный век, сударыня вы моя, не возьмешь, чему сами теперь служите пагубным примером... Дескать, повытчиком нужно служить и в хижине жить, на морском берегу. Во-первых, сударыня вы моя, на морских берегах нет повытчиков, а во-вторых, и достать его нам с вами нельзя, повытчика-то. Ибо, положим, примерно сказать, вот я просьбу подаю, являюсь -- дескать, так и так, в повытчики, дескать, того... и от врага защитите... а вам скажут, сударыня, дескать, того... повытчиков много и что вы здесь не у эмигрантки Фальбала, где вы благонравию учились, чему сами служите пагубным примером. Благонравие

283

же, сударыня, значит дома сидеть, отца уважать и не думать о женишках прежде времени. Женишки же, сударыня, в свое время найдутся, -- вот оно как! Конечно, разным талантам, бесспорно, нужно уметь, как-то: на фортепьянах иногда поиграть, по-французски говорить, истории, географии, закону божию и арифметике, -- вот оно как! -- а больше не нужно. К тому же и кухня; непременно в область ведения всякой благонравной девицы должна входить кухня! А то что тут? во-первых, красавица вы моя, милостивая моя государыня, вас не пустят, а пустят за вами погоню, и потом под сюркуп, в монастырь. Тогда что, сударыня вы моя? тогда мне-то что делать прикажете? прикажете мне, сударыня вы моя, следуя некоторым глупым романам, на ближний холм приходите и таять в слезах, смотря на хладные стены вашего заключения, и наконец умереть, следуя привычке некоторых скверных немецких поэтов и романистов, так ли, сударыня? Да, во-первых, позвольте сказать вам по-дружески, что дела так не делаются, а во-вторых, и вас, да и родителей-то ваших посек бы препорядочно за то, что французские-то книжки вам давали читать; ибо французские книжки добру не научат. Там яд... яд тлетворный, сударыня вы

моя! Или вы думаете, позвольте спросить вас, или вы думаете, что, дескать, так и так, убежим безнаказанно, да и того... дескать, хижинку вам на берегу моря; да и ворковать начнем и об чувствах разных рассуждать, да так и всю жизнь проведем, в довольстве и счастии; да потом заведется птенец, так мы и того... дескать, так и так, родитель наш и статский советник, Олсуфий Иванович, вот, дескать, птенец завелся, так вы по сему удобному случаю снимите проклятие да благословите чету? Нет, сударыня, и опять-таки дела так не делаются, и первое дело то, что воркования не будет, не извольте надеяться. Нынче муж, сударыня вы моя, господин, и добрая, благовоспитанная жена должна во всем угождать ему. А нежностей, сударыня, нынче не любят, в наш промышленный век; дескать, прошли времена Жан-Жака Руссо. Муж, например, нынче приходит голодный из должности, -- дескать, душенька, нет ли чего закусить, водочки выпить, селедочки съесть? так у вас, сударыня, должны быть сейчас наготове и водочка, и селедочка. Муж закусит себе с аппетитом, да на вас и не взглянет, а скажет: поди-тка, дескать, на кухню, котеночек, да присмотри за обедом, да разве-разве в неделю разок поцелует, да и то равнодушно... Вот оно как

284

по-нашему-то, сударыня вы моя! да и то, дескать, равнодушно!.. Вот оно как будет, если так рассуждать, если уж на то пошло, что таким-то вот образом начать на дело смотреть... Да и я-то тут что? меня-то, сударыня, в ваши капризы зачем подмешали? "Дескать, благодетельный, за меня страждущий и всячески милый сердцу моему человек и так далее". Да, во-первых, я, сударыня вы моя, я для вас не гожусь, сами знаете, комплинтам не мастер, дамские там разные раздушенные пустячки говорить не люблю, селадонов не жалую, да и фигурой, признаться, не взял. Ложного-то хвастовства и стыда вы в нас не найдете, а признаемся вам теперь во всей искренности. Дескать, вот оно как, обладаем лишь прямым и открытым характером да здравым рассудком; интригами не занимаемся. Не интригант, дескать, и этим горжусь, -- вот оно как!.. Хожу без маски между добрых людей и, чтоб всё вам сказать..."

Вдруг господин Голядкин вздрогнул. Рыжая и взмокшая окончательно борода его кучера опять глянула к нему за дрова...

-- Я сейчас, мой друг; я, мой друг, знаешь, тотчас; я, мой друг, тотчас же, -- отвечал господин Голядкин трепещущим и изнывающим голосом.

Кучер почесал в затылке, потом погладил свою бороду, потом шагнул шаг вперед... остановился и недоверчиво взглянул на господина Голядкина.

-- Я сейчас, мой друг; я, видишь... мой друг... я немножко, я, видишь, мой друг, только секундочку здесь... видишь, мой друг...

-- Нешто совсем не поедете? -- сказал наконец кучер, решительно и окончательно приступая к господину Голядкину...

-- Нет, мой друг, я сейчас. Я, видишь, мой друг, дожидаюсь...

-- Так-с...

-- Я, видишь, мой друг... ты из какой деревни, мой милый?

-- Мы господские...

-- И добрых господ?..

-- Нешто?...

-- Да, мой друг; ты постой здесь, мой друг Ты, видишь, мой друг, ты давно в Петербурге?

-- Да уж год езжу...

-- И хорошо тебе, друг мой?

-- Нешто?.

285

-- Да, мой друг, да. Благодарю провидение, мой друг Ты, мой друг, доброго человека ищи. Нынче добрые люди стали редки, мой милый; он обмоет, накормит и напоит тебя, милый мой, добрый-то человек... А иногда ты видишь, что и через золото слезы льются, мой друг... видишь плачевный пример; вот оно как, милый мой...

Извозчику как будто стало жалко господина Голядкина.

-- Да извольте, я подожду-с. Нешто долго ждать будете-с?

-- Нет, мой друг, нет; я уж, знаешь, того... я уж не буду ждать, милый мой. Как ты думаешь, друг мой? Я на тебя полагаюсь. Я уж не буду здесь ждать...

-- Нешто совсем не поедете?

-- Нет, мой друг; нет, а я тебя поблагодарю, милый мой... вот оно как. Тебе сколько следует, милый мой?

-- Да уж за что рядились, сударь, то и пожалуете. Ждал, сударь, долго; уж вы человека не обидите, сударь.

-- Ну, вот тебе, милый мой, вот тебе. -- Тут господин Голядкин отдал все шесть рублей серебром извозчику и, серьезно решившись не терять более времени, то есть уйти подобру-поздорову, тем более что уже окончательно решено было дело и извозчик отпущен был и, следовательно, ждать более нечего, пустился со двора, вышел за ворота, поворотил налево и без оглядки, задыхаясь и радуясь, пустился бежать. "Оно, может быть, и всё устроится к лучшему, -- думал он, -- а я вот таким-то образом беды избежал". Действительно, как-то вдруг стало необыкновенно легко в душе господина Голядкина. "Ах, кабы устроилось к лучшему! -- подумал герой наш, сам, впрочем, мало себе на слово веря. -- Вот я и того... -- думал он. -- Нет, я лучше вот так, и с другой стороны... Или лучше вот этак мне сделать?.." Таким-то образом сомневаясь и ища ключа и разрешения сомнений своих, герой наш добежал до Семеновского моста, а добежав до Семеновского моста, благоразумно и окончательно положил воротиться. "Оно и лучше, -- подумал он. -- Я лучше с другой стороны, то есть вот как. Я буду так -- наблюдателем посторонним буду, да и дело с концом; дескать, я наблюдатель, лицо постороннее -- и только, а там, что ни случись, -- не я виноват Вот оно как! Вот оно таким-то образом и будет теперь".

Положив воротиться, герой наш действительно воротился, тем более что, по счастливой мысли своей, ставил себя теперь лицом совсем посторонним. "Оно же и лучше: и не отвечаешь ни за что, да и увидишь, что следовало..."

286

вот оно как!" То есть расчет был вернейший, да и дело с концом. Успокоившись, забрался он опять под мирную сень своей успокоительной и охранительной кучи дров и внимательно стал смотреть на окна. В этот раз смотреть и дожидаться пришлось ему недолго. Вдруг, во всех окнах разом, обнаружилось какое-то странное движение, замелькали фигуры, открылись занавесы, целые группы людей толпились в окнах Олсуфия Ивановича, все искали и выглядывали чего-то на дворе. Обеспеченный своею кучею дров, герой наш тоже в свою очередь с любопытством стал следить за всеобщим движением и с участием вытягивать направо и налево свою голову, сколько по крайней мере позволяла ему короткая тень от дровяной кучи, его прикрывавшая. Вдруг он оторопел, вздрогнул и едва не присел на месте от ужаса. Ему показалось, -- одним словом, он догадался вполне, -- что искали-то не что-нибудь и не кого-нибудь: искали просто его, господина Голядкина. Все смотрят в его сторону, все указывают в его сторону Бежать было невозможно: увидят... Оторопевший господин Голядкин прижался как можно плотнее к дровам и тут только заметил, что предательская тень изменяла, что прикрывала она не всего его. С величайшим удовольствием согласился бы наш герой пролезть теперь в какую-нибудь мышиную щелочку между дровами, да там и сидеть себе смирно, если бы только это было возможно. Но было решительно невозможно. В агонии своей он стал наконец решительно и прямо смотреть на все окна разом; оно же и лучше... И вдруг сгорел со стыда окончательно. Его совершенно заметили, все разом заметили, все манят его руками, все кивают ему головами, все зовут его; вот щелкнуло и открылось несколько форточек; несколько голосов разом что-то начали кричать ему... "Удивляюсь, как этих девчонок не секут еще с детства", -- бормотал про себя наш герой, совсем потерявшись. Вдруг с крыльца сбежал он (известно кто), в одном вицмундире, без шляпы, запыхавшись,

юля, семена и подпрыгивая, вероломно изъясняя ужаснейшую радость о том, что увидел наконец господина Голядкина.

-- Яков Петрович, -- защебетал известный своей бесполезностью человек, -- Яков Петрович, вы здесь? Вы простудитесь. Здесь холодно, Яков Петрович. Пожалуйте в комнату.

-- Яков Петрович! Нет-с, я ничего, Яков Петрович, -- покорным голосом пробормотал наш герой.

287

-- Нет-с, нельзя, Яков Петрович: просят, покорнейше просят, ждут нас. "Осчастливьте, дескать, и приведите сюда Якова Петровича". Вот как-с.

-- Нет, Яков Петрович; я, видите ли, я бы лучше сделал... Мне бы лучше домой пойти, Яков Петрович... -- говорил наш герой, горя на мелком огне и замерзая от стыда и ужаса, всё в одно время.

-- Ни-ни-ни-ни! -- защебетал отвратительный человек. -- Ни-ни-ни, ни за что! Идем! -- сказал он решительно и потащил к крыльцу господина Голядкина-старшего. Господин Голядкин-старший хотел было вовсе не идти, но так как смотрели все и сопротивляться и упираться было бы глупо, то герой наш пошел, -- впрочем, нельзя сказать, чтобы пошел, потому что решительно сам не знал, что с ним делается. Да уж так ничего, заодно!

Прежде нежели герой наш успел кое-как оправиться и опомниться, очутился он в зале. Он был бледен, растрепан, растерзан, мутными глазами окинул он всю толпу, -- ужас! Зала, все комнаты -- всё, всё было полным-полнехонько. Людей было бездна, дам целая оранжерея; все это теснилось около господина Голядкина, всё это стремилось к господину Голядкину, всё это выносило на плечах своих господина Голядкина, весьма ясно заметившего, что его упирают в какую-то сторону. "Ведь не к дверям", -- пронеслось в голове господина Голядкина. Действительно, упирали его не к дверям, а прямо к покойным креслам Олсуфия Ивановича. Возле кресел с одной стороны стояла Клара Олсуфьевна, бледная, томная, грустная, впрочем пышно убранная. Особенно бросились в глаза господину Голядкину маленькие беленькие цветочки в ее черных волосах, что составляло превосходный эффект. С другой стороны кресел держался Владимир Семенович, в черно" фраке, с новым своим орденом в петличке. Господина Голядкина вели под руки, и, как сказано было выше, прямо на Олсуфия Ивановича, -- с одной стороны господин Голядкин-младший, принявший на себя вид чрезвычайно благопристойный и благонамеренный, чему наш герой донельзя обрадовался, с другой же стороны руководил его Андрей Филиппович с самой торжественной миной в лице. "Что бы это?" -- подумал господин Голядкин. Когда же он увидал, что ведут его к Олсуфию Ивановичу, то его вдруг как будто молнией озарило. Мысль о перехваченном письме мелькнула в голове его. В неистощимой агонии предстал наш герой перед

288

кресла Олсуфия Ивановича. "Как мне теперь? -- подумал он про себя. -- Разумеется, этак всё на смелую ногу, то есть с откровенностью, не лишенною благородства; дескать, так и так и так далее". Но чего боялся, по-видимому, герой наш, то и не случилось. Олсуфий Иванович принял, кажется, весьма хорошо господина Голядкина и, хотя не протянул ему руки своей, но по крайней мере, смотря на него, покачал своею седовласою и внушающею всякое уважение головою, -- покачал с каким-то торжественно-печальным, но вместе с тем благосклонным видом. Так по крайней мере показалось господину Голядкину. Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Олсуфия Ивановича; он поднял глаза и увидел, что и на ресницах Клары Олсуфьевны, тут же стоявшей, тоже как будто блеснула слезинка, -- что и в глазах Владимира Семеновича тоже как будто бы было что-то подобное, -- что, наконец, ненарушимое и спокойное достоинство Андрея Филипповича тоже стоило общего слезящегося участия, -- что, наконец, юноша, когда-то весьма походивший на важного советника, уже горько рыдал, пользуясь настоящей минутой... Или это всё, может быть, только так показалось господину Голядкину, потому что он сам

весьма прослезился и ясно слышал, как текли его горячие слезы по его холодным щекам... Голосом, полным рыданий, примиренный с людьми и судьбою и крайне любя в настоящее мгновение не только Олсуфия Ивановича, не только всех гостей, взятых вместе, но даже и зловредного близнеца своего, который теперь, по-видимому, вовсе был не зловредным и даже не близнецом господину Голядкину, но совершенно посторонним и крайне любезным самим по себе человеком, обратился было наш герой к Олсуфию Ивановичу с трогательным излиянием души своей; но от полноты всего, в нем накопившегося, не мог ровно ничего объяснить, а только весьма красноречивым жестом молча указал на свое сердце... Наконец Андрей Филиппович, вероятно желая пощадить чувствительность седовласого старца, отвел господина Голядкина немного в сторону и оставил его, впрочем, кажется, в совершенно независимом положении. Улыбаясь, что-то бормоча себе под нос, немного недоумевая, но во всяком случае почти совершенно примиренный с людьми и судьбою, начал пробираться наш герой куда-то сквозь густую массу гостей. Все ему давали дорогу, все смотрели на него с каким-то странным любопытством и с каким-то необъяснимым, загадочным участием. Герой наш прошел в

289

другую комнату -- то же внимание везде; он глухо слышал, как целая толпа теснилась по следам его, как замечали его каждый шаг, как втихомолку все между собою толковали о чем-то весьма занимательном, качали головами, говорили, судили, рядили и шептались. Господину Голядкину весьма бы хотелось узнать, о чем они все так судят, и рядят, и шепчутся. Оглянувшись, герой наш заметил подле себя господина Голядкина-младшего. Почувствовав необходимость схватить его руку и отвести его в сторону, господин Голядкин убедительнейше попросил другого Якова Петровича содействовать ему при всех будущих начинаниях и не оставлять его в критическом случае. Господин Голядкин-младший важно кивнул головою и крепко сжал руку господина Голядкина-старшего. Сердце затрепетало от избытка чувств в груди героя нашего. Впрочем, он задыхался, он чувствовал, что его так теснит, теснит; что все эти глаза, на него обращенные, как-то гнетут и давят его... Господин Голядкин увидал мимоходом того советника, который носил парик на голове. Советник глядел на него строгим, испытующим взглядом, вовсе не смягченным от всеобщего участия... Герой наш решился было идти к нему прямо, чтоб улыбнуться ему и немедленно с ним объясниться; но дело как-то не удалось. На одно мгновение господин Голядкин почти забылся совсем, потерял и память, и чувства... Очнувшись, заметил он, что вертится в широком кругу его обступивших гостей. Вдруг из другой комнаты крикнули господина Голядкина; крик разом пронесся по всей толпе. Всё заволновалось, всё зашумело, все ринулись к дверям первой залы; героя нашего почти вынесли на руках, причем твердосердый советник в парике очутился бок о бок с господином Голядкиным. Наконец он взял его за руку и посадил возле себя, напротив сиделища Олсуфия Ивановича, в довольно значительном, впрочем, от него расстоянии. Все, кто ни были в комнатах, все уселись в нескольких рядах кругом господина Голядкина и Олсуфия Ивановича. Всё затихло и присмирело, все наблюдали торжественное молчание, все взглядывали на Олсуфия Ивановича, очевидно ожидая чего-то не совсем обыкновенного. Господин Голядкин заметил, что возле кресел Олсуфия Ивановича, и тоже прямо против советника, поместился другой господин Голядкин с Андреем Филипповичем. Молчание длилось; чего-то действительно ожидали. "Точь-в-точь как в семье какой-нибудь, при отъезде кого-нибудь в дальний путь; стоит только встать да

290

помолиться теперь". -- подумал герой наш. Вдруг обнаружилось необыкновенное движение и прервало все раз мышления господина Голядкина. Случилось что-то давно ожидаемое. "Едет, едет!" -- пронеслось по толпе. "Кто это едет?" -- пронеслось в голове господина Голядкина, и он вздрогнул от какого-то странного ощущения. "Пора!" -- сказал советник, внимательно посмотрев на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович, с своей стороны, взглянул на Олсуфия Ивановича. Важно и торжественно кивнул головой

Олсуфий Иванович. "Встанем", -- проговорил советник, подымая господина Голядкина. Все встали. Тогда советник взял за руку господина Голядкина-старшего, а Андрей Филиппович господина Голядкина-младшего, и оба торжественно свели двух совершенно подобных среди обставшей их кругом и устремившейся в ожидании толпы. Герой наш с недоумением осмотрелся кругом, но его тотчас остановили и указали ему на господина Голядкина-младшего, который протянул ему руку. "Это мирить нас хотят", --подумал герой наш и с умилением протянул свою руку господину Голядкину-младшему; потом, потом протянул к нему свою голову. То же сделал и другой господин Голядкин... Тут господину Голядкину-старшему показалось, что вероломный друг его улыбается, что бегло и плутовски мигнул всей окружавшей их толпе, что есть что-то зловещее в лице неблагопристойного господина Голядкина-младшего, что даже он отпустил гримасу какую-то в минуту иудина своего поцелуя... В голове зазвонило у господина Голядкина, в глазах потемнело; ему показалось, что бездна, целая вереница совершенно подобных Голядкиных с шумом вламываются во все двери комнаты; но было поздно... Звонкий предательский поцелуй раздался, и...

Тут случилось совсем неожиданное обстоятельство... Двери в залу растворились с шумом, и на пороге показался человек, которого один вид оледенил господина Голядкина. Ноги его приросли к земле. Крик замер в его стесненной груди. Впрочем, господин Голядкин знал всё заранее и давно уже предчувствовал что-то подобное. Незнакомец важно и торжественно приближался к господину Голядкину... Господин Голядкин эту фигуру очень хорошо знал. Он ее видел, очень часто видал, еще сегодня видел... Незнакомец был высокий, плотный человек, в черном фраке, с значительным крестом на шее и одаренный густыми, весьма черными бакенбардами; недоставало только сигарки во рту для дальнейшего сходства... Зато взгляд незнакомца, как

291

уже сказано было, оледенил ужасом господина Голядкина. С важной и торжественной миной подошел страшный человек к плачевному герою повести нашей... Герой наш протянул ему руку; незнакомец взял его руку и потащил за собою... С потерянными, с убитым лицом оглянулся кругом наш герой...

-- Это, это Крестьян Иванович Рутеншпиц, доктор медицины и хирургии, ваш давнишний знакомец, Яков Петрович! -- зашебетал чей-то противный голос под самым ухом господина Голядкина. Он оглянулся: то был отвратительный подлыми качествами души своей близнец господина Голядкина. Неблагопристойная, зловещая радость сияла в лице его; с восторгом он тер свои руки, с восторгом повертывал кругом свою голову, с восторгом семенил кругом всех и каждого; казалось, готов был тут же начать танцевать от восторга; наконец он прыгнул вперед, выхватил свечку у одного из слуг и пошел вперед, освещая дорогу господину Голядкину и Крестьяну Ивановичу. Господин Голядкин слышал ясно, как всё, что ни было в зале, ринулось вслед за ним, как все теснились, давили друг друга и все вместе, в голос, начинали повторять за господином Голядкиным: "что это ничего; что не бойтесь, Яков Петрович, что это ведь старинный друг и знакомец ваш, Крестьян Иванович Рутеншпиц..." Наконец вышли на парадную, ярко освещенную лестницу; на лестнице была тоже куча народа; с шумом растворились двери на крыльцо, и господин Голядкин очутился на крыльце вместе с Крестьяном Ивановичем. У подъезда стояла карета, запряженная четверней лошадей, которые фыркали от нетерпения. Злорадственный господин Голядкин-младший в три прыжка сбежал с лестницы и сам отворил карету. Крестьян Иванович увещательным жестом попросил садиться господина Голядкина. Впрочем, увещательного жеста было вовсе не нужно; было довольно народу подсаживать... Замирая от ужаса, оглянулся господин Голядкин назад; вся ярко освещенная лестница была унижена народом; любопытные глаза глядели на него отвсюду; сам Олсуфий Иванович председатель на самой верхней площадке лестницы, в своих покойных креслах, и внимательно, с сильным участием, смотрел на всё совершавшееся. Все ждали. Ропот нетерпения пробежал по толпе, когда господин Голядкин оглянулся назад.

-- Я надеюсь, что здесь нет ничего... ничего предосудительного... или могущего возбудить строгость... и

292

внимание всех касательно официальных отношений моих? -- проговорил, потерявшись, герой наш. Говор и шум поднялся кругом; все отрицательно закивали головами своими. Слезы брызнули из глаз господина Голядкина.

-- В таком случае, я готов... я вверяюсь вполне... и вручаю судьбу мою Крестьяну Ивановичу...

Только что проговорил господин Голядкин, что он вручает вполне свою судьбу Крестьяну Ивановичу, как страшный, оглушительный, радостный крик вырвался у всех окружающих его и самым зловещим откликом прокатился по всей ожидавшей толпе. Тут Крестьян Иванович с одной стороны, а с другой -- Андрей Филиппович взяли под руки господина Голядкина и стали сажать в карету; двойник же, по подленькому обыкновению своему, подсаживал сзади. Несчастный господин Голядкин-старший бросил свой последний взгляд на всех и на всё и, дрожа, как котенок, которого окатили холодной водой, -- если позволят сравнение, -- влез в карету; за ним тотчас же сел и Крестьян Иванович. Карета захлопнулась; послышался удар кнута по лошадям, лошади рванули экипаж с места... все ринулось вслед за господином Голядкиным. Пронзительные, неистовые крики всех врагов его покатались ему вслед в виде напутствия. Некоторое время еще мелькали кое-какие лица кругом кареты, уносившей господина Голядкина; но мало-помалу стали отставать-отставать и наконец исчезли совсем. Долее всех оставался неблагопристойный близнец господина Голядкина. Заложа руки в боковые карманы своих зеленых форменных брюк, бежал он с довольным видом, подпрыгивая то с одной, то с другой стороны экипажа; иногда же, схватившись за рамку окна и повиснув на ней, просовывал в окно свою голову и, в знак прощания, посылал господину Голядкину поцелуйчики; но и он стал уставать, все реже и реже появлялся и наконец исчез совершенно. Глухо занывало сердце в груди господина Голядкина; кровь горячим ключом била ему в голову; ему было душно, ему хотелось расстегнуться, обнажить свою грудь, обсыпать ее снегом и облить холодной водой. Он впал наконец в забытие... Когда же очнулся, то увидел, что лошади несут его по какой-то ему незнакомой дороге. Направо и налево чернелись леса; было глухо и пусто. Вдруг он обмер: два огненные глаза смотрели на него в темноте, и зловещею, адскою радостью блестели эти два глаза. Это не Крестьян Иванович! Кто это? Или это он? Он! Это Крестьян Иванович, но только не прежний, это другой Крестьян Иванович! Это ужасный Крестьян Иванович!..

293

-- Крестьян Иванович, я... я, кажется, ничего. Крестьян Иванович, -- начал было робко и трепеща наш герой, желая хоть сколько-нибудь покорностью и смирением умилосердить ужасного Крестьяна Ивановича.

-- Ви получаете казенный квартир, с дровами, с лихт и с прислугой, чего ви недостойн, -- строго и ужасно, как приговор, прозвучал ответ Крестьяна Ивановича.

Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы! он это давно уже предчувствовал!

## Лев Толстой

**Об авторе:**

*ЛЕВ ТОЛСТОЙ*

*НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ*

*(Издание: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений в 90 томах, академическое юбилейное издание, том 37, Государственное Издательство Художественной Литературы, Москва - 1956; OCR: Габриел Мумжиев)*

I

*"Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе".*

*И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни. Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год непрерывающиеся казни, казни, казни.*

*Беру нынешнюю газету.*

*Нынче, 9 мая, что-то ужасное. В газете стоят короткие слова: "Сегодня в Херсоне на Стрельбицком поле казнены через повешение двадцать крестьян за разбойное нападение на усадьбу землевладельца в Елисаветградском уезде". (1)*

*Двенадцать человек из тех самых людей, трудами которых мы живем, тех самых, которых мы всеми силами развращали и развращаем, начиная от яда водки и до той ужасной лжи веры, в которую мы не верим, но которую стараемся всеми силами внушить им, -- двенадцать таких людей задушены веревками теми самыми людьми, которых они кормят, и одевают,*

*(1) В газетах появились потом опровержения известия о казни двадцати крестьян. Могу только радоваться этой ошибке: как тому, что задавлено на восемь человек меньше, чем было в первом известии, так и тому, что эта ужасная цифра заставила меня выразить в этих страницах то чувство, которое давно уже мучает меня, и потому только, заменяя слово двадцать словом двенадцать, оставляю без перемены всё то, что сказано здесь, так как сказанное относится не к одним двенадцати казненным, а ко всем тысячам, в последнее время убитым и задавленным людям.*

*и обстраивают и которые развращали и развращают их. Двенадцать мужей, отцов, сыновей, тех людей, на доброте, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьмы, заковали в ножные кандалы. Потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы. Несколько таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооруженные и одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, с ружьями в руках, сопровождают приговоренных. Рядом с приговоренными, в парчовой ризе и в эпитрахили, с крестом в руке идет человек с длинными волосами. Шествие останавливается. Руководитель всего дела говорит что-то, секретарь читает бумагу, и когда бумага прочтена, человек, с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить веревками, говорит что-то о боге и Христе. Тотчас же после этих слов палачи, -- их несколько, один не может управиться с таким сложным делом, -- разведя мыло и намылив петли веревок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами и накладывают на шею веревочные петли.*

*И вот, один за другим, живые люди сталкиваются с выдернутых из-под их ног скамеек и своею тяжестью сразу затягивают на своей шее петли и мучительно задыхаются. За*

*минуту еще перед этим живые люди превращаются в висящие на веревках мертвые тела, которые сначала медленно покачиваются, потом замирают в неподвижности.*

*Всё это для своих братьев людей старательно устроено и придумано людьми высшего сословия, людьми учеными, просвещенными. Придумано то, чтобы делать эти дела тайно, на заре, так, чтобы никто не видал их, придумано то, чтобы ответственность за эти злодеяния так бы распределялась между совершающими их людьми, чтобы каждый мог думать и сказать: не он виновник их. Придумано то, чтобы разыскивать самых развращенных и несчастных людей и, Заставляя их делать дело, нами же придуманное и одобряемое, делать вид, что мы гнушаемся людьми, делающими это дело. Придумана даже такая тонкость, что приговаривают одни (военный суд), а присутствуют обязательно при казнях не военные, а гражданские. Исполняют же дело несчастные, обманутые, развращенные, презираемые, которым остается одно: как получше намылить веревки, чтобы они вернее затягивали шеи, и как бы получше напиток продаваемым этими же просвещенными, высшими людьми яда, чтобы скорее и полнее забыть о своей душе, о своем человеческом звании.*

*Врач обходит тела, ощупывает и докладывает начальству, что дело совершено, как должно: все двенадцать человек несомненно мертвы. И начальство удаляется к своим обычным занятиям с сознанием добросовестно исполненного, хотя и тяжелого, но необходимого дела. Застывшие тела снимают и зарывают.*

*Ведь это ужасно!*

*И делается это не один раз и не над этими только 12-ю несчастными, обманутыми людьми из лучшего сословия русского народа, но делается это, не переставая, годами, над сотнями и тысячами таких же обманутых людей, обманутых теми самыми людьми, которые делают над ними эти страшные дела.*

*И делается не только это ужасное дело, но под тем же предлогом и с той же хладнокровной жестокостью совершаются еще самые разнообразные мучительства и насилия по тюрьмам, крепостям, каторгам.*

*Это ужасно, но ужаснее всего то, что делается это не по увлечению, чувству, заглушающему ум, как это делается в драке, на войне, в грабеже даже, а, напротив, по требованию ума, расчета, заглушающего чувство. Этим-то особенно ужасны эти дела. Ужасны тем, что ничто так ярко, как все эти дела, совершаемые от судьбы до палача, людьми, которые не хотят их делать, ничто так ярко и явно не показывает всю губительность деспотизма для души человеческих, власти одних людей над другими.*

*Возмутительно, когда один человек может отнять у другого его труд, деньги, корову, лошадь, может отнять даже его сына, дочь, -- это возмутительно, но насколько возмутительнее то, что может один человек отнять у другого его душу, может заставить его сделать то, что губит его духовное "я", лишает его его духовного блага. А это самое делают те люди, которые устраивают всё это и спокойно, ради блага людей, заставляют людей, от судьбы до палача, подкупами, угрозами, обманами совершать эти дела, наверное лишаящие их их истинного блага.*

*И в то время как всё это делается годами по всей России, главные виновники этих дел, те, по распоряжению которых это делается, те, кто мог бы остановить эти дела, -- главные виновники этих дел в полной уверенности того, что эти дела -- дела полезные и даже необходимые,-- или придумывают и говорят речи о том, как надо мешать финляндцам жить так, как хотят этого финляндцы, а непременно заставить их жить так, как хотят этого несколько человек русских, или издают приказы о том, как в "армейских гусарских полках обилага рукавов и воротники доломанов должны быть по цвету последних, а ментики, кому таковые присвоены, без выпушки вокруг рукавов над мехом".*

*Да, это ужасно!*

Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют еще большее, величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющееся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа. Распространяется же это развращение особенно быстро среди простого, рабочего народа потому, что все эти преступления, превышающие в сотни раз всё то, что делалось и делается простыми ворами и разбойниками и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого, не только оправдываемого, но поддерживаемого разными, нераздельными в понятиях народа с справедливостью и даже святостью учреждениями: сенат, синод, дума, церковь, царь.

И распространяется это развращение с необычайной быстротой.

Недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то.

В Москве торговец-лавочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств, совершаемых правительством, и, получая по 100 рублей с повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле, и теперь ведет по-прежнему торговлю.

В Орле в прошлых месяцах, как и везде, понадобился палач, и тотчас же нашелся человек, который согласился исполнять это дело, срядившись с заведующим правительственными убийствами за 50 рублей с человека. Но, узнав уже после того, как он срядился в цене, о том, что в других местах платят дороже, добровольный палач во время совершения казни, надев на убиваемого саван-мешок, вместо того чтобы вести его на помост, остановился и, подойдя к начальнику, сказал: "Прибавьте, ваше превосходительство, четвертной билет, а то не стану". Ему прибавили, и он исполнил.

Следующая казнь предстояла пятерым. Накануне казни к распорядителю правительственных убийств пришел неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вышел. Неизвестный человек сказал:

"Надысь какой-то с вас три четвертных взял за одного. Нынче, слышно, пятеро назначены. Прикажете всех за мной оставить, я по пятнадцати целковых возьму, и, будьте покойны, сделаю, как должно".

Не знаю, принято ли было, или нет предложение, но знаю, что предложение было. Так действуют эти совершаемые правительством преступления на худших, наименее нравственных людей народа. Но ужасные дела эти не могут оставаться без влияния и на большинство средних, в нравственном отношении, людей. Не переставая слыша и читая о самых ужасных, бесчеловечных зверствах, совершаемых властями, то есть людьми, которых народ привык почитать как лучших людей, -- большинство средних, особенно молодых, занятых своими личными делами людей, невольно, вместо того чтобы понять то, что люди, совершающие гадкие дела недостойны почтения, делают обратное рассуждение: если почитаемые всеми люди, рассуждают они, делают кажущиеся нам гадкие дела, то, вероятно, дела эти не так гадки, как они нам кажутся.

О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением земельного вопроса.

Вообще благодаря деятельности правительства, допускающего возможность убийства для достижения своих целей, всякое преступление: грабеж, воровство, ложь,

*мучительства, убийства считаются несчастными людьми, подвергшимися развращению правительства, делами самыми естественными, свойственными человеку.*

*Да, как ни ужасны самые дела, нравственное, духовное, невидимое зло, производимое ими, без сравнения еще ужаснее.*

### *III*

*Вы говорите, что вы совершаете все эти ужасы для того, чтобы водворить спокойствие, порядок.*

*Вы водворяете спокойствие и порядок!*

*Чем же вы его водворяете? Тем, что вы, представители христианской власти, руководители, наставники, одобряемые и поощряемые церковными служителями, разрушаете в людях последние остатки веры и нравственности, совершая величайшие преступления: ложь, предательство, всякого рода мучительство и -- последнее самое ужасное преступление, самое противное всякому не вполне развращенному сердцу человеческому: не убийство, не одно убийство, а убийства, бесконечные убийства, которые вы думаете оправдать разными глупыми ссылками на такие-то статьи, написанные вами же в ваших глупых и лживых книгах, кощунственно называемые вами законами.*

*Вы говорите, что это единственное средство успокоения народа и погашения революции, но ведь это явная неправда. Очевидно, что, не удовлетворяя требованиям самой первобытной справедливости всего русского земледельческого народа: уничтожения земельной собственности, а напротив, утверждая ее и всячески раздражая народ и тех легкомысленных озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу с вами, вы не можете успокоить людей, мучая их, терзая, ссылая, заточая, вешая детей и женщин. Ведь как вы ни стараетесь заглушить в себе свойственные людям разум и любовь, они есть в вас, и стоит вам опомниться и подумать, чтобы увидеть, что, поступая так, как вы поступаете, то есть участвуя в этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняя внутрь.*

*Ведь это слишком ясно.*

*Причина совершающегося никак не в материальных событиях, а всё дело в духовном настроении народа, которое изменялось и которое никакими усилиями нельзя вернуть к прежнему состоянию, -- так же нельзя вернуть, как нельзя взрослого сделать опять ребенком. Общественное раздражение или спокойствие никак не может зависеть от того, что будет жив или повешен Петров или что Иванов будет жить не в Тамбове, а в Нерчинске, на каторге. Общественное раздражение или спокойствие может зависеть только от того, как не только Петров или Иванов, но всё огромное большинство людей будет смотреть на свое положение, от того, как большинство это будет относиться к власти, к земельной собственности, к проповедуемой вере, -- от того, в чем большинство это будет полагать добро и в чем зло. Сила событий никак не в материальных условиях жизни, а в духовном настроении народа. Если бы вы убили и замучили хотя бы и десятую часть всего русского народа, духовное состояние остальных не станет таким, какого вы желаете.*

*Так что всё, что вы делаете теперь, с вашими обысками, шпионствами, изгнаниями, тюрьмами, каторгами, виселицами -- всё это не только не приводит народ в то состояние, в которое вы хотите привести его, а, напротив, увеличивает раздражение и уничтожает всякую возможность успокоения.*

*"Но что же делать, говорите вы, что делать, чтобы теперь успокоить народ? Как прекратить те злодеяния, которые совершаются?"*

*Ответ самый простой: перестать делать то, что вы делаете.*

*Если бы никто не знал, что нужно делать для того, чтобы успокоить "народ" -- весь народ (многие же очень хорошо знают, что нужнее всего для успокоения русского народа: нужно освобождение земли от собственности, как было нужно 50 лет тому назад освобождение от крепостного права), если бы никто и не знал, что нужно теперь для успокоения, народа, то все-таки очевидно, что для успокоения народа наверное не нужно делать того, что только увеличивает его раздражение. А вы именно это только и делаете.*

*То, что вы делаете, вы делаете не для народа, а для себя, для того, чтобы удержать то, по заблуждению вашему считаемое вами выгодным, а в сущности самое жалкое и гадкое положение, которое вы занимаете. Так и не говорите, что то, что вы делаете, вы делаете для народа: это неправда. Все те гадости, которые вы делаете, вы делаете для себя, для своих корыстных, честолюбивых, тщеславных, мстительных, личных целей, для того, чтобы самим пожить еще немножко в том развращении, в котором вы живете и которое вам кажется благом.*

*Но сколько вы ни говорите о том, что всё, что вы делаете, вы делаете для блага народа, люди всё больше и больше понимают вас и всё больше и больше презирают вас, и на ваши меры подавления и пресечения всё больше и больше смотрят не так, как бы вы хотели; как на действия какого-то высшего собирательного лица, правительства, а как на личные дурные дела отдельных недобрых себялюбцев.*

#### *IV*

*Вы говорите: "Начали не мы, а революционеры, а ужасные злодеяния революционеров могут быть подавлены только твердыми (вы так называете ваши злодеяния), твердыми мерами правительства".*

*Вы говорите, что совершаемые революционерами злодеяния ужасны.*

*Я не спорю и прибавлю к этому еще и то, что дела их, кроме того, что ужасны, еще так же глупы и так же бьют мимо цели, как и ваши дела. Но как ни ужасны и ни глупы их дела: все эти бомбы и подкопы, и все эти отвратительные убийства и грабежи денег, все эти дела далеко не достигают преступности и глупости дел, совершаемых вами.*

*Они делают совершенно то же, что и вы, и по тем же побудительным причинам. Они так же, как и вы, находятся под тем же (я бы сказал комическим, если бы последствия его не были так ужасны) заблуждением, что одни люди составив себе план о том, какое, по их мнению, желательно и должно быть устройство общества, имеют право и возможность устраивать по этому плану жизнь других людей. Одинаково заблуждение, одинаковы и средства достижения воображаемой цели. Средства эти-- насилие всякого рода, доходящее до смертоубийства. Одинаково и оправдание в совершаемых злодеяниях. Оправдание в том, что дурное дело, совершаемое для блага многих, перестает быть безнравственным, и что потому можно, не нарушая нравственного закона, лгать, грабить, убивать, когда это ведет к осуществлению того предполагаемого благого состояния для многих, которое мы воображаем, что знаем, и можем предвидеть, и которое хотим устроить.*

*Вы, правительственные люди, называете дела революционеров злодеяниями и великими преступлениями, но они ничего не делали и не делают такого, чего бы вы не делали, и не делали в несравненно большей степени. Так что, употребляя те безнравственные средства, которые вы употребляете для достижения своих целей, вам-то уж никак нельзя упрекать революционеров. Они делают только то же самое, что и вы: вы держите шпионов, обманываете, распространяете ложь в печати, и они делают то же; вы отбираете собственность людей посредством всякого рода насилия и по-своему распоряжаетесь ею, и они делают то же самое; вы казните тех, кого считаете вредными,--они делают то же. Всё, что вы только можете привести в свое оправдание,*

*они точно так же приведут в свое, не говоря уже о том, что вы делаете много такого дурного, чего они не делают: растрату народных богатств, приготовления к войнам и самые войны, покорение и угнетение чужих народностей и многое другое.*

*Вы говорите, что у вас есть предания старины, которые вы блюдете, есть образцы деятельности великих людей прошедшего. У них тоже предания, которые ведутся тоже издавна, еще раньше большой французской революции, а великих людей, образцов для подражания, мучеников, погибших за истину и свободу, не меньше, чем у вас.*

*Так что, если есть разница между вами и ими, то только в том, что вы хотите, чтобы всё оставалось, как было и есть, а они хотят перемены. А думая, что нельзя всему всегда оставаться по-прежнему, они были бы правее вас, если бы у них не было того же, взятого от вас, странного и губительного заблуждения в том, что одни люди могут знать ту форму жизни, которая свойственна в будущем всем людям, и что эту форму можно установить насильем. Во всем же остальном они делают только то самое, что вы делаете, и теми же самыми средствами. Они вполне ваши ученики, они, как говорится, все ваши капельки подобрали, они не только ваши ученики, они -- ваше произведение, они ваши дети. Не будь вас -- не было бы их, так что, когда вы силою хотите подавить их, вы делаете то, что делает человек, налегающий всею силою на дверь, отворяющуюся на него.*

*Если есть разница между вами и ими, то никак не в вашу, а в их пользу. Смягчающие для них обстоятельства, во-первых, в том, что их злодеяния совершаются при условии большей личной опасности, чем та, которой вы подвергаетесь, а риск, опасность оправдывают многое в глазах увлекающейся молодежи. Во-вторых, в том, что они в огромном большинстве -- совсем молодые люди, которым свойственно заблуждаться, вы же -- большей частью люди зрелые, старые, которым свойственно разумное спокойствие и снисхождение к заблуждающимся. В-третьих, смягчающие обстоятельства в их пользу еще в том, что как ни гадки их убийства, они все-таки не так холодно-систематически жестоки, как ваши Шлиссельбурги, каторги, виселицы, расстрелы. Четвертое смягчающее вину обстоятельство для революционеров в том, что все они совершенно определенно отвергают всякое религиозное учение, считают, что цель оправдывает средства, и потому поступают совершенно последовательно, убивая одного или нескольких для воображаемого блага многих. Тогда как вы, правительственные люди, начиная от низших палачей и до высших распорядителей их, вы все стоите за религию, за христианство, ни в каком случае несовместимое с совершаемыми вами делами.*

*И вы-то, люди старые, руководители других людей, исповедующие христианство, вы говорите, как подравшиеся дети, когда их бранят за то, что они дерутся: "Не мы начали, а они", и лучше этого ничего не умеете, не можете сказать вы, люди, взявшие на себя роль правителей народа. И какие же вы люди? Люди, признающие богом того, кто самым определенным образом запретил не только всякое убийство, но всякий гнев на брата, который запретил не только суд и наказание, но осуждение брата, который в самых определенных выражениях отменил всякое наказание, признал неизбежность всегашнего прощения, сколько бы раз ни повторилось преступление, который велел ударившему в одну щеку подставлять другую, а не воздавать злом за зло, который так просто, так ясно показал рассказом о приговоренной к побитию камнями женщине невозможность осуждения и наказания одними людьми других, вы -- люди, признающие этого учителя богом, ничего другого не можете найти сказать в свое оправдание, кроме того, что "они начали, они убивают -- давайте и мы будем убивать их".*

*Знакомый мне живописец задумал картину "Смертная казнь", и ему нужно было для натуры лицо палача. Он узнал, что в то время в Москве дело палача исполнял сторож-дворник. Художник пошел на дом к сторожу. Это было на святой. Семейные разряженные сидели за чайным столом, хозяина не было: как потом оказалось, он спрятался, увидев незнакомца. Жена тоже смутилась и сказала, что мужа нет дома, но ребенок-девочка выдала его. Она сказала: "батя на чердаке". Она еще не знала, что ее отец знает, что он делает дурное дело и что ему поэтому надо бояться всех. Художник объяснил хозяйке, что нужен ему ее муж для "натуры", для того, чтобы списать с него портрет, так как лицо его подходит к задуманной картине. (Художник, разумеется, не сказал для какой картины ему нужно лицо дворника.) Разговорившись с хозяйкой, художник предложил ей, чтобы задобрить ее, взять к себе на выучку мальчика-сына. Предложение это, очевидно, подкупило хозяйку. Она вышла, и через несколько времени вошел и глядящий исподлобья хозяин, мрачный, беспокойный и испуганный, он долго пытался художника, зачем и почему ему нужен именно он. Когда художник сказал ему, что он встретил его на улице и лицо его показалось ему подходящим к картине, дворник спрашивал, где он его видел? в какой час? в какой одежде? И, очевидно, боясь и подозревая худое, отказался от всего.*

*Да, этот непосредственный палач знает, что он палач и что то, что он делает, -- дурно, и что его ненавидят за то, что он делает, и он боится людей, и я думаю, что это сознание и страх перед людьми выкупают хоть часть его вины. Все же вы, от секретарей суда до главного министра и царя, посредственные участники ежедневно совершаемых злодеяний, вы как будто не чувствуете своей вины и не испытываете того чувства стыда, которое должно бы вызывать в вас участие в совершаемых ужасах. Правда, вы так же опасаетесь людей, как и палач, и опасаетесь тем больше, чем больше ваша ответственность за совершаемые преступления: прокурор опасается больше секретаря, председатель суда больше прокурора, генерал-губернатор больше председателя, председатель совета министров еще больше, царь больше всех. Все вы боитесь, но не оттого, что, как тот палач, вы знаете, что вы поступаете дурно, а вы боитесь оттого, что вам кажется, что люди поступают дурно.*

*И потому я думаю, что как ни низко пал этот несчастный дворник, он нравственно все-таки стоит несравненно выше вас, участников и отчасти виновников этих ужасных преступлений, -- людей, осуждающих других, а не себя, и высоко носящих голову.*

## VI

*Знаю я, что все люди -- люди, что все мы слабы, что все мы заблуждаемся и что нельзя одному человеку судить другого. Я долго боролся с тем чувством, которое возбуждали и возбуждают во мне виновники этих страшных преступлений, и тем больше, чем выше по общественной лестнице стоят эти люди. Но я не могу и не хочу больше бороться с этим чувством.*

*А не могу и не хочу, во-первых, потому, что людям этим, не видящим всей своей преступности, необходимо обличение, необходимо и для них самих, и для той толпы людей, которая под влиянием внешнего почета и восхваления этих людей одобряет их ужасные дела и даже старается подражать им. Во-вторых, не могу и не хочу больше бороться потому, что (откровенно признаюсь в этом) надеюсь, что мое обличение этих людей вызовет желательное мне извержение меня тем или иным путем из того круга людей, среди которого я живу и в котором я не могу не чувствовать себя участником совершаемых вокруг меня преступлений.*

*Ведь всё, что делается теперь в России, делается во имя общего блага, во имя обеспечения и спокойствия жизни людей, живущих в России. А если это так, то всё это делается и для меня, живущего в России. Для меня, стало быть, и нищета народа,*

лишенного первого, самого естественного права человеческого -- пользования той землей, на которой он родился; для меня эти полмиллиона оторванных от доброй жизни мужиков, одетых в мундиры и обучаемых убийству, для меня это лживое так называемое духовенство, на главной обязанности которого лежит извращение и скрывание истинного христианства. Для меня все эти высылки людей из места в место, для меня эти сотни тысяч голодных, блуждающих по России рабочих, для меня эти сотни тысяч несчастных, мруших от тифа, от цынги в недостающих для всех крепостях и тюрьмах. Для меня страдания матерей, жен, отцов изгнанных, запертых, повешенных. Для меня эти шпионы, подкупы, для меня эти убивающие городовые, получающие награду за убийство. Для меня закапывание десятков, сотен расстреливаемых, для меня эта ужасная работа трудно добываемых, но теперь уже не так гнушающихся этим делом людей-палачей. Для меня эти виселицы с висящими на них женщинами и детьми, мужиками; для меня это страшное озлобление людей друг против друга.

И как ни странно утверждение о том, что всё это делается для меня и что я участник этих страшных дел, я все-таки не могу не чувствовать, что есть несомненная зависимость между моей просторной комнатой, моим обедом, моей одеждой, моим досугом и теми страшными преступлениями, которые совершаются для устранения тех, кто желал бы отнять у меня то, чем я пользуюсь. Хотя я и знаю, что все те бездомные, озлобленные, развращенные люди, которые бы отняли у меня то, чем я пользуюсь, если бы не было угроз правительства, произведены этим самым правительством, я все-таки не могу не чувствовать, что сейчас мое спокойствие действительно обусловлено всеми теми ужасами, которые совершаются теперь правительством.

А сознавая это, я не могу долее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения.

Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду.

Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю.

## VII

И вот для того, чтобы достигнуть одной из этих двух целей, обращаюсь ко всем участникам этих страшных дел, обращаюсь ко всем, начиная с надевающих на людей-братьев, на женщин, на детей колпаки и петли, от тюремных смотрителей и до вас, главных распорядителей и разрешителей этих ужасных преступлений.

Люди-братья! Опомнитесь, одумайтесь, поймите, что вы делаете. Вспомните, кто вы.

Ведь вы прежде, чем быть палачами, генералами, прокурорами, судьями, премьерами, царями, прежде всего вы люди. Нынче выглянули на свет божий, завтра вас не будет. (Вам-то, палачам всякого разряда, вызывавшим и вызывающим к себе особенную ненависть, вам-то особенно надо помнить это.) Неужели вам, выглянувшим на этот один короткий миг на свет божий -- ведь смерть, если вас и не убьют, всегда у всех нас за плечами, -- неужели вам не видно в ваши светлые минуты, что ваше призвание в жизни не может быть в том, чтобы мучить, убивать людей, самим дрожать от страха быть убитыми, и лгать перед собою, перед людьми и перед богом, уверяя себя и людей, что, принимая участие в этих делах, вы делаете важное, великое дело для блага миллионов? Неужели вы сами не знаете, -- когда не опьянены обстановкой, лестью и привычными софизмами, -- что всё это -- слова, придуманные только для того, чтобы,

делая самые дурные дела, можно было бы считать себя хорошим человеком? Вы не можете не знать того, что у вас, так же как у каждого из нас, есть только одно настоящее дело, включающее в себя все остальные дела, -- то, чтобы прожить этот короткий промежуток данного нам времени в согласии с той волей, которая послала нас в этот мир, и в согласии с ней уйти из него. Воля же эта хочет только одного: любви людей к людям.

Вы же, что вы делаете? На что кладете свои душевные силы? Кого любите? Кто вас любит? Ваша жена? Ваш ребенок? Но ведь это не любовь. Любовь жены, детей -- это не человеческая любовь. Так, и сильнее, любят животные. Человеческая любовь -- это любовь человека к человеку, ко всякому человеку, как к сыну божью и потому брату.

Кого же вы так любите? Никого. А кто вас любит? Никто.

Вас боятся, как боятся ката-палача или дикого зверя. Вам льстят, потому что в душе презирают вас и ненавидят -- и как ненавидят! И вы это знаете и боитесь людей.

Да, подумайте все вы, от высших до низших участников убийств, додумайте о том, кто вы, и перестаньте делать то, что делаете. Перестаньте -- не для себя, не для своей личности, и не для людей, не для того, чтобы люди перестали осуждать вас, но для своей души, для того бога, который, как вы ни заглушаете его, живет в вас.

31 мая 1908 г.

Ясная Поляна.

Крейцера соната

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

(Матфея V, 28)

Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.

Он же сказал им: не все вмещают слово сие: но кому дано.

Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так,

и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для царства небесного.

Кто может вместить, да вместит.

(Матфея XIX, 10, 11, 12)

I

Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния, но трое ехало, так же как и я, с самого места отхода поезда: некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полу мужском пальто и шапочке, ее знакомый, разговорчивый человек лет сорока, с аккуратными новыми вещами, и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старый, но с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Он был одет в старое от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на начатый и оборванный смех.

Господин этот во все время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. На заговариванья соседей он отвечал коротко и резко и или читал, или,

глядя в окно, курил, или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай, или закусывал.

Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним, но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно.

Во время остановки, перед вечером второго дня, на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, с своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто, пошли пить чай на станцию.

Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц и в том числе высокий бритый морщинистый старик, очевидно купец, в ильковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. Купец сел против места дамы с адвокатом и тотчас же вступил в разговор с молодым человеком, по виду купеческим приказчиком, вошедшим в вагон тоже на этой станции.

Я сидел наискоски и, так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Купец объявил сначала о том, что он едет в свое имение, которое отстоит только на одну станцию; потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, как Москва нынче торгует, потом заговорили о Нижегородской ярманке. Приказчик стал рассказывать про кутежи какого-то известного обоим богача-купца на ярманке, но старик не дал ему договорить и стал сам рассказывать про былые кутежи в Кунавине, в которых он сам участвовал. Он, видимо, гордился своим участием в них и с видимой радостью рассказывал, как они вместе с этим самым знакомым сделали раз пьяные в Кунавине такую штуку, что ее надо было рассказать шепотом и что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтые зуба.

Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой, на ходу про что-то оживленно разговаривавшие.

-- Не успеете, -- сказал мне общительный адвокат, -- сейчас второй звонок.

И точно, я не успел дойти до конца вагонов, как раздался звонок. Когда я вернулся, между дамой и адвокатом продолжался оживленный разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой и изредка неодобрительно жуя зубами.

-- Затем она прямо объявила своему супругу, -- улыбаясь, говорил адвокат в то время, как я проходил мимо него, -- что она не может, да и не желает жить с ним, так как...

И он стал рассказывать далее что-то, чего я не мог расслышать. Вслед за мной прошли еще пассажиры, прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда все затихло и я опять услышал голос адвоката, разговор, очевидно, с частного случая перешел уже на общие соображения.

Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику.

-- В старину этого не было, не правда ли? -- сказал он, приятно улыбаясь.

Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и читать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дождался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить.

-- Бывало, сударь, и прежде, только меньше, -- сказал он. -- По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованны стали.

Поезд, двигаясь все быстрее и быстрее, погромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с

блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался.

-- Да чем же худо образование? -- чуть заметно улыбаясь, сказала дама. -- Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и не видали даже друг друга? -- продолжала она, по привычке многих дам отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. -- Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили за кого попало, да всю жизнь и мучались; так, по-вашему, это лучше? -- говорила она, очевидно обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику, с которым говорила.

-- Уж очень образованны стали, -- повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа.

-- Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве, -- чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат.

Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его.

-- Нет, уж это время прошло, -- сказала она. Но адвокат остановил ее:

-- Нет, позвольте им выразить свою мысль.

-- Глупости от образования, -- решительно сказал старик.

-- Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут, -- торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня и даже на приказчика, который, поднявшись с своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался к разговору. -- Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности, -- очевидно желая уязвить купца, говорила она.

-- Напрасно так говорите, сударыня, -- сказал старик, -- животное скот, а человеку дан закон.

-- Ну да как же жить с человеком, когда любви нет? -- все торопилась дама высказывать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми.

-- Прежде этого не разбирали, -- внушительным тоном сказал старик, -- нынче только завелось это. Как что, она сейчас и говорит: "Я от тебя уйду". У мужиков на что, и то эта самая мода завелась. "На, говорит, вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявей тебя". Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть.

Приказчик посмотрел и на адвоката, и на даму, и на меня, очевидно удерживая улыбку и готовый и осмеять и одобрить речь купца, смотря по тому, как она будет принята.

-- Какой же страх? -- сказала дама.

-- А такой: да боится своего му-у-ужа! Вот какой страх.

-- Ну, уж это, батюшка, время прошло, -- даже с некоторой злобой сказала дама.

-- Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется до скончания века, -- сказал старик, так строго и победительно тряхнув головой, что приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся.

-- Да это вы, мужчины, так рассуждаете, -- говорила дама, не сдаваясь и оглядываясь на нас, -- сами себе дали свободу, а женщину хотите в терему держать. Сами небось себе все позволяете.

-- Позволения никто не дает, а только что от мужчины в доме ничего не прибудет, а женщина -- женоутлый сосуд, -- продолжал внушать купец.

Внушительность интонаций купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась.

-- Да, но я думаю, вы согласитесь, что женщина -- человек, и имеет чувства, как и мужчина. Ну что же ей делать, если она не любит мужа?

-- Не любит! -- грозно повторил купец, двинув бровями и губами. -- Небось полюбит!

Этот неожиданный аргумент особенно понравился приказчику, и он издал одобрительный звук.

-- Да нет, не полюбит, -- заговорила дама, -- а если любви нет, то ведь к этому нельзя же принудить.

-- Ну, а как жена изменит мужу, тогда как? -- сказал адвокат.

-- Этого не полагается, -- сказал старик, -- за этим смотреть надо.

-- А как случится, тогда как? Ведь бывает же.

-- У кого бывает, а у нас не бывает, -- сказал старик. Все помолчали. Приказчик пошевелился, еще подвинулся и, видимо не желая отстать от других, улыбаясь, начал:

-- Да-с, вот тоже у нашего молодца скандал один вышел. Тоже рассудить слишком трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая. И пошла чертить. А малый степенный и с развитием. Сначала с конторщиком. Уговаривал он тоже добром. Не унялась. Всякие пакости делала. Его деньги стала красть. И бил он ее. Что ж, все хужела. С некрещеным, с евреем, с позволенья сказать, свела шашни. Что ж ему делать? Бросил ее совсем. Так и живет холостой, а она слоняется.

-- Потому он дурак, -- сказал старик. -- Кабы он спервоначала не дал ей ходу, а укороту бы дал настоящую, жила бы небось. Волю не давать надо сначала. Не верь лошади в поле, а жене в доме.

В это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет.

-- Да-с, загодя укорачивать надо женский пол, а то все пропадет.

-- Ну, а как же вы сами сейчас рассказывали, как женатые люди на ярманке в Кунавине веселятся? -- сказал я, не выдержав.

-- Эта статья особая, -- сказал купец и погрузился в молчанье.

Когда раздался свисток, купец поднялся, достал из-под лавки мешок, запахнулся и, приподняв картуз, вышел на тормоз.

## II

Только что старик ушел, поднялся разговор в несколько голосов.

-- Старого завета папаша, -- сказал приказчик.

-- Вот Домострой живой, -- сказала дама. -- Какое дикое понятие о женщине и о браке!

-- Да-с, далеки мы от европейского взгляда на брак, -- сказал адвокат.

-- Ведь главное то, чего не понимают такие люди, -- сказала дама, -- это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освящает брак и что брак истинный только тот, который освящает любовь.

Приказчик слушал и улыбался, желая запомнить для употребления сколько можно больше из умных разговоров.

В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания, и, оглянувшись, мы увидели моего соседа, седого одинокого господина с блестящими глазами, который во время разговора, очевидно интересовавшего его, незаметно подошел к нам. Он стоял, положив руки на спинку сиденья, и, очевидно, очень волновался: лицо его было красно и на щека вздрагивал мускул.

-- Какая же это любовь... любовь... любовь... освящает брак? -- сказал он, запинаясь.

Видя взволнованное состояние собеседника, дама постаралась ответить ему как можно мягче и обстоятельнее.

-- Истинная любовь... Есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен и брак, -- сказала дама.

-- Да-с, но что разумеет под любовью истинной? -- неловко улыбаясь и робея, сказал господин с блестящими глазами.

-- Всякий знает, что такое любовь, -- сказала дама, очевидно желая прекратить с ним разговор.

-- А я не знаю, -- сказал господин. -- Надо определить, что вы разумеете...

-- Как? очень просто, -- сказала дама, но задумалась. -- Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными, -- сказала она.

-- Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дни, на полчаса? -- проговорил седой господин и засмеялся.

-- Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.

-- Нет-с, я про то самое.

-- Они говорят, -- вступился адвокат, указывая на даму, -- что брак должен вытекать, во-первых, из привязанности, любви, если хотите, и что если налицо есть таковая, то только в этом случае брак представляет из себя нечто, так сказать, священное. Затем, что всякий брак, в основе которого не заложены естественные привязанности -- любовь, если хотите, -- не имеет в себе ничего нравственно обязательного. Так ли я понимаю? -- обратился он к даме.

Дама движением головы выразила одобрение разъяснению своей мысли.

-- Засим... -- продолжал речь адвокат, но нервный господин с горевшими огнем теперь глазами, очевидно, с трудом удерживался и, не дав адвокату договорить, начал:

-- Нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими, но я только спрашиваю: предпочтение на сколько времени?

-- На сколько времени? надолго, на всю жизнь иногда, -- сказала дама, пожимая плечами.

-- Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко, чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы, -- говорил он, очевидно зная, что он удивляет всех своим мнением, и довольный этим.

-- Ах, что вы! Да нет. Нет, позвольте, -- в один голос заговорили мы все трое. Даже приказчик издал какой-то неодобрительный звук.

-- Да-с, я знаю, -- перекрикивал нас седой господин, -- вы говорите про то, что считается существующим, а я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине.

-- Ах, это ужасно, что вы говорите; но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь?

-- Нет, нету. Если допустить даже, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то, по всем вероятностям, предпочтет другого, и так всегда было и есть на свете, -- сказал он и достал папиросочницу и стал закуривать.

-- Но может быть и взаимность, -- сказал адвокат.

-- Нет-с, не может быть, -- возразил он, -- так же как не может быть, что в возу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Да кроме того, тут не невероятность одна, тут, наверное, пресыщение. Любить всю жизнь одну или одного -- это все равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь, -- говорил он, жадно затягиваясь.

-- Но вы все говорите про плотскую любовь. Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве? -- сказала дама.

-- Духовное сродство! Единство идеалов! -- повторил он, издавая свой звук. -- Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе, -- сказал он и нервно засмеялся.

-- Но позвольте, -- сказал адвокат, -- факт противоречит тому, что вы говорите. Мы видим, что супружества существуют, что все человечество или большинство его живет брачной жизнью и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь.

Седой господин опять засмеялся.

-- То вы говорите, что брак основывается на любви, когда же я выражаю сомнение в существовании любви, кроме чувственной, вы мне доказываете существование любви том, что существуют браки. Да брак-то в наше время один обман!

-- Нет-с, позвольте, -- сказал адвокат, -- я говорю только, что существовали и существуют браки.

-- Существуют. Да только отчего они существуют? Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, таинство, которое обязывает перед богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве и в многомужестве. Это скверно, но еще идет; но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешнее обязательство жить вместе всю жизнь и со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга, -- говорил он все быстрее, не давая никому вставить слова и все больше и больше разгораясь. Все молчали. Было неловко.

-- Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни, -- сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор.

-- Вы, как я вижу, узнали, кто я? -- тихо и как будто спокойно сказал седой господин.

-- Нет, я не имею удовольствия.

-- Удовольствие небольшое. Я Позднышев, тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил, -- сказал он, оглядывая быстро каждого из нас.

Никто не нашелся, что сказать, и все молчали.

-- Ну, все равно, -- сказал он, издавая свой звук. -- Впрочем, извините! А!.. не буду стеснять вас.

-- Да нет, помилуйте... -- сам не зная, что "помилуйте", сказал адвокат.

Но Позднышев, не слушая его, быстро повернулся и ушел на свое место. Господин с дамой шептались. Я сидел рядом с Позднышевым и молчал, не умея придумать, что сказать. Читать было темно, и потому я закрыл глаза и притворился, что хочу заснуть. Так мы проехали молча до следующей станции.

На станции этой господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Приказчик устроился на лавочке и заснул. Позднышев же все курил и пил заваренный еще на той станции чай.

Когда я открыл глаза и взглянул на него, он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне:

-- Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду.

-- О нет, помилуйте.

-- Ну, так не угодно ли? Только крепок. -- Он налил мне чаю.

-- Они говорят... И все лгут... -- сказал он.

-- Вы про что? -- спросил я.

-- Да все про то же: про эту любовь ихнюю и про то, что это такое. Вы не хотите спать?

-- Совсем не хочу.

-- Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было?

-- Да, если вам не тяжело.

-- Нет, мне тяжело молчать. Пейте ж чай. Или слишком крепок?

Чай действительно был как пиво, но я выпил стакан. В это время прошел кондуктор. Он проводил его молча злыми глазами и начал только тогда, когда тот ушел.

### III

-- Ну, так я расскажу вам... Да вы точно хотите? Я повторил, что очень хочу. Он помолчал, потер руками лицо и начал:

-- Коли рассказывать, то надо рассказывать все с начала: надо рассказать, как и отчего я женился и каким я был до женитьбы.

Жил я до женитьбы, как живут все, то есть в нашем кругу. Я помещик и кандидат университета и был предводителем. Жил до женитьбы, как все живут, то есть развратно, и, как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что я живу, как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главной цели жизни, как это делали многие из моих сверстников, а отдавался разврату степенно, прилично, для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим.

Он остановился, издал свой звук, как он делал всегда, когда ему приходила, очевидно, новая мысль.

-- А ведь в этом-то и главная мерзость, -- вскрикнул он. -- Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу. Помню, как я мучался раз, не успев заплатить женщине, которая, вероятно полюбив меня, отдалась мне. Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с нею. Вы не качайте головой, как будто вы согласны со мной, -- вдруг крикнул он на меня. -- Ведь я знаю эту штуку. Вы все, и вы, вы, в лучшем случае, если вы не редкое исключение, вы тех самых взглядов, каких я был. Ну, все равно, вы простите меня, -- продолжал он, -- но дело в том, что это ужасно, ужасно, ужасно!

-- Что ужасно? -- спросил я.

-- Та пучина заблуждения, в которой мы живем относительно женщин и отношений к ним. Да-с, не могу спокойно говорить про это, и не потому, что со мной случился этот эпизод, как он говорил, а потому, что с тех пор, как случился со мной этот эпизод, у меня открылись глаза, и я увидел все совсем в другом свете. Все наыворот, все наыворот!..

Он закурил папироску и, облокотившись на свои колени, начал говорить.

В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания вагона его внушительный и приятный голос.

#### IV

-- Да-с, только перемучавшись, как я перемучался, только благодаря этому я понял, где корень всего, понял, что должно быть, и потому увидел весь ужас того, что есть.

Так изволите видеть, вот как и когда началось то, что привело меня к моему эпизоду. Началось это тогда, когда мне было невступно шестнадцать лет. Случилось это, когда я был еще в гимназии, а брат мой старший был студент первого курса. Я не знал еще женщин, но я, как и все несчастные дети нашего круга, уже не был невинным мальчиком: уже второй год я был развращен мальчишками; уже женщина, не какая-нибудь, а женщина, как сладкое нечто, женщина, всякая женщина, нагота женщины уже мучала меня. Уединения мои были нечистые. Я мучался, как мучаются 0,99 наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал. Я уже был развращен в воображении и в действительности, но последний шаг еще не был сделан мною. Я погибал один, но еще не налагая руки на другое человеческое существо. Но вот товарищ брата, студент, весельчак, так называемый добрый малый, то есть самый большой негодяй, выучивший нас и пить и в карты играть, уговорил после попойки ехать туда. Мы поехали. Брат тоже еще был невинен и пал в эту же ночь. И я, пятнадцатилетний мальчишка, осквернил себя самого и содействовал осквернению женщины, вовсе не понимая того, что я делал. Я ведь ни от кого от старших не слышал, чтоб то, что я делал, было дурно. Да и теперь никто не услышит. Правда, есть это в заповеди, но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать на экзамене батюшке, да и то не очень нужны, далеко не так, как заповедь об употреблении *ut* в условных предложениях.

Так от тех старших людей, мнения которых я уважал, я ни от кого не слышал, чтобы это было дурно. Напротив, я слышал от людей, которых я уважал, что это было хорошо. Я слышал, что мои борьбы и страдания утишатся после этого, я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо; от товарищей же слышал, что в этом есть некоторая заслуга, молодечество. Так что вообще, кроме хорошего, тут ничего не виделось. Опасность болезней? Но и та ведь предвидена. Попечительное правительство заботится об этом. Оно следит за правильной деятельностью домов терпимости и обеспечивает разврат для гимназистов. И доктора за жалованье следят за этим. Так и следует. Они утверждают, что разврат бывает полезен для здоровья, они же и учреждают правильный, аккуратный разврат. Я знаю матерей, которые заботятся в этом смысле о здоровье сыновей. И наука посылает их в дома терпимости.

-- Отчего же наука? -- сказал я.

-- Да кто же доктора? Жрецы науки. Кто развращает юношей, утверждая, что это нужно для здоровья? Они. А потом с ужасной важностью лечат сифилис.

-- Да отчего же не лечить сифилис?

-- А оттого, что если бы 0,01 тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были положены на искоренение разврата, сифилиса давно не было бы и помину. А то усилия употреблены не на искоренение разврата, а на поощрение его, на обеспечение безопасности разврата. Ну, да не в том дело. Дело в том, что со мной, да и с 0,9, если не больше, не только нашего сословия, но всех, даже крестьян, случилось то ужасное дело, что я пал не потому, что я подпал естественному соблазну прелести известной женщины. Нет, никакая женщина не соблазнила меня, а я пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение, одни -- самое законное и полезное для здоровья отправление, другие -- самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека. Я и не понимал, что тут есть падение, я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту, начал предаваться этому разврату, как я начал пить, курить. А все-таки в этом первом падении было что-то особенное и трогательное. Помню, мне тотчас же, там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно, грустно, так что хотелось плакать, плакать о погибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине. Да-с, естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже не нормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда человек -- блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться; но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. По тому, как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким, и это-то и погубило меня.

V

-- Да, так-с. Потом пошло дальше, дальше, были всякого рода отклонения. Боже мой! как вспомню я все мои, мерзости в этом отношении, ужас берет! О себе, над которым товарищи смеялись за мою так называемую невинность, я так вспоминаю. А как послушишь о золотой молодежи, об офицерах, о парижанах! И все эти господа и я, когда мы, бывало, тридцатилетние развратники, имеющие на душе сотни самых разнообразных ужасных преступлений относительно женщин, когда мы, тридцатилетние развратники, входим чисто-начисто вымытые, выбритые, надушенные, в чистом белье, во фраке или в мундире в гостиную или на бал -- эмблема чистоты -- прелесть!

Ведь вы подумайте, что бы должно быть и что есть. Должно бы быть то, что, когда в общество к моей сестре, дочери вступит такой господин, я, зная его жизнь, должен подойти к нему, отозвать в сторону и тихо сказать; , "Голубчик, ведь я знаю, как ты живешь, как проводишь ночи и с кем. Тебе здесь не место. Здесь чистые, невинные девушки. Уйди!" Так должно бы быть; а есть то, что, когда такой господин является и танцует, обнимая, ее, с моей сестрой, дочерью, мы ликуем, если он богат и с связями. Авось он удостоит после Ригольбош и мою дочь. Если даже и остались следы, нездоровье, -- ничего. Нынче хорошо лечат. Как же, я знаю, несколько высшего света девушек выданы родителями с восторгом за сифилитиков. О! о мерзость! Да придет же время, что обличится эта мерзость и ложь!

И он несколько раз издал свои странные звуки и взялся за чай. Чай был страшно крепкий, не было воды, чтобы его разбавить. Я чувствовал, что меня волновали особенно выпитые мною два стакана. Должно быть, и на него действовал чай, потому что он становился все возбужденнее и возбужденнее. Голос его становился все более и более певучим и выразительным. Он беспрестанно менял позы, то снимал шапку, то надевал ее, и лицо его странно изменялось в той полутьме, в которой мы сидели.

-- Ну, вот так я и жил до тридцати лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке, -- продолжал он. -- Я гваздался в гное разврата и вместе с тем разглядывал девушек, по своей чистоте достойных меня. Многих я забраковывал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня; наконец я нашел такую, которую счел достойной себя. Это была одна из двух дочерей когда-то очень богатого, но разорившегося пензенского помещика.

В один вечер, после того как мы ездили в лодке и ночью, при лунном свете, ворочались домой и я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, и ее локонами, я вдруг решил, что это она. Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, все, что я чувствую и думаю, а что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же, было только то, что джерси было ей особенно к лицу, также и локоны, и что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости.

Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна.

Я вернулся в восторге домой и решил, что она верх нравственного совершенства и что потому-то она достойна быть моей женой, и на другой день сделал предложение.

Ведь что это за путаница! Из тысячи женившихся мужчин не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже раз десять, а то и сто или тысячу, как Дон-Жуан, прежде брака. (Есть теперь, правда, я слышу и наблюдаю, молодые люди чистые, чувствующие и знающие, что это не шутка, а великое дело. Помогите им бог! Но в мое время не было ни одного такого на десять тысяч.) И все знают это и притворяются, что не знают. Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят; но, описывая их великую любовь к какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, что было с ним, с интересным героем, прежде: ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Если же есть такие неприличные романы, то их не дают в руки, главное, тем, кому нужнее всего это знать, -- девушкам. Сначала притворяются перед девушками в том, что того распутства, которое наполняет половину жизни наших городов и деревень даже, что этого распутства совсем нет. Потом так приучаются к этому притворству, что наконец, как англичане, сами начинают искренно верить, что мы все нравственные люди и живем в нравственном мире. Девушки же, те, бедные, верят в это совсем серьезно. Так верила и моя несчастная жена. Помню, как, уже будучи женихом, я показал ей свои дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное -- про последнюю связь, которая была у меня и о

которой она могла узнать от других и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего она не бросила!

Он издал свой звук, помолчал и отпил еще глоток чаю.

## VI

-- Нет, впрочем, так лучше, так лучше! -- вскрикнул он. -- Поделом мне! Но не в том дело. Я хотел сказать, что обмануты тут ведь только одни несчастные девушки. Матери же знают это, особенно матери, воспитанные своими мужьями, знают это прекрасно. И притворяясь, что верят в чистоту мужчин, они на деле действуют совсем иначе. Они знают, на какую удочку ловить мужчин для себя и для своих дочерей.

Ведь мы, мужчины, только не знаем, и не знаем потому, что не хотим знать, женщины же знают очень хорошо, что самая возвышенная, поэтическая, как мы ее называем, любовь зависит не от нравственных достоинств, а от физической близости и притом прически, цвета, покроя платья. Скажите опытной кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать: тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, избалованной во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нем в дурно сшитом и некрасивом платье, -- всякая всегда предпочтет первое. Она знает, что наш брат все врет о высоких чувствах -- ему нужно только тело, и потому он простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит. Кокетка знает это сознательно, но всякая невинная девушка знает это бессознательно, как знают это животные.

От этого эти джерси мерзкие, эти нашлепки на зады, эти голые плечи, руки, почти груди. Женщины, особенно прошедшие мужскую школу, очень хорошо знают, что разговоры о высоких предметах- разговорами, а что нужно мужчине тело и все то, что выставляет его в самом заманчивом свете; и это самое и делается. Ведь если откинуть только ту привычку к этому безобразию, которая стала для нас второй природой, а взглянуть на жизнь наших высших классов как она есть, со всем ее бесстыдством, ведь это один сплошной дом терпимости. Вы не согласны? Позвольте, я докажу, -- заговорил он, перебивая меня. -- Вы говорите, что женщины в нашем обществе живут иными интересами, чем женщины в домах терпимости, а я говорю, что нет, и докажу. Если люди различны по целям жизни, по внутреннему содержанию жизни, то это различие непременно отразится и во внешности, и внешность будет различная. Но посмотрите на тех, на несчастных презираемых, и на самых высших светских барынь: те же наряды, те же фасоны, те же духи, то же оголение рук, плеч, грудей и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим, блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пенье. Как те заманивают всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки -- обыкновенно презираемы, проститутки на долгие -- уважаемы.

## VII

-- Да, так вот меня эти джерси, и локоны, и нашлепки поймали. Поймать же меня легко было, потому что я воспитан был в тех условиях, при которых, как огурцы на парах, выгоняются влюбляющиеся молодые люди. Ведь наша возбуждающая излишняя пища при совершенной физической праздности есть не что иное, как систематическое разжигание похоти. Удивляйтесь не удивляйтесь, а так. Ведь я сам этого до последнего времени ничего не видал. А теперь увидал. От этого-то меня и мучает то, что никто этого не знает, а говорят такие глупости, как вон та барыня.

Да-с, около меня нынче весной работали мужики на насыпи железной дороги. Обыкновенная пища малого из крестьян -- хлеб, квас, лук; он жив, бодр, здоров, работает

легкую полевую работу. Он поступает на железную дорогу, и харчи у него -- каша и один фунт мяса. Но зато он и выпускает это мясо на шестнадцатичасовой работе с тачкой в тридцать пудов. И ему как раз так. Ну а мы, поедающие по два фунта мяса, дичи и всякие горячительные яства и напитки, -- куда это идет? На чувственные эксессы. И если идет туда, спасительный клапан открыт, все благополучно; но прикройте клапан, как я прикрывал его временно, и тотчас же получается возбуждение, которое, проходя через призму нашей искусственной жизни, выразится влюблением самой чистой воды, иногда даже платоническим. И я влюбился, как все влюбляются. И все было налицо: и восторги, и умиление, и поэзия. В сущности же, эта моя любовь была производением, с одной стороны, деятельности мамы и портних, с другой -- избытка поглощавшейся мной пищи при праздной жизни. Не будь, с одной стороны, катаний на лодках, не будь портних с талиями и т. п., а будь моя жена одета в нескладный капот и сиди она дома, а будь я, с другой стороны, в нормальных условиях человека, поглощающего пищи столько, сколько нужно для работы, и будь у меня спасительный клапан открыт, -- а то он случайно прикрывался как-то на это время, -- я бы не влюбился, и ничего бы этого не было.

## VIII

-- Ну, а тут так подошло: и мое состояние, и платье хорошо, и катанье на лодках удалось. Двадцать раз не удавалось, а тут удалось. Вроде как капкан. Я не смеюсь. Ведь теперь браки так и устраиваются, как капканы. Ведь естественно что? Девка созрела, надо ее выдать. Кажется, как просто, когда девка не урод и есть мужчины, желающие жениться. Так и делалось в старину. Вошла в возраст дева, родители устраивали брак. Так делалось, делается во всем человечестве: у китайцев, индейцев, магометан, у нас в народе; так делается в роде человеческом по крайней мере в 0,99 его части. Только в 0,01 или меньше нас, распутников, нашли, что это нехорошо, и выдумали новое. Да что же новое-то? А новое то, что девы сидят, а мужчины, как на базар, ходят и выбирают. А девки ждут и думают, но не смеют сказать: "Батюшка, меня! нет, меня. Не ее, а меня: у меня, смотри, какие плечи и другое". А мы, мужчины, похаживаем, поглядываем и очень довольны. "Знаю, мол, я не попадусь". Похаживают, посматривают, очень довольны, что это для лих все устроено. Глядь, не поберегся, -- хлоп, тут и есть!

-- Так как же быть? -- сказал я. -- Что же, женщине делать предложение?

-- Да уж я не знаю как; только если равенство, так равенство. Если нашли, что сватовство унижительно, то уж это в тысячу раз больше. Там права и шансы равны, а здесь женщина или раба на базаре, или привада в капкан. Скажите какой-нибудь матушке или самой девушке правду, что она только тем и занята, чтобы ловить жениха. Боже, какая обида! А ведь они все только это и делают, и больше им делать нечего. И что ведь ужасно -- это видеть занятых этим иногда совершенно молоденьких бедных невинных девушек. И опять, если бы это открыто делалось, а то все обман. "Ах, происхождение видов, как это интересно! Ах, Лиза очень интересуется живописью! А вы будете на выставке? Как поучительно! А на тройках, а спектакль, а симфония? Ах, как замечательно! Моя Лиза без ума от музыки. А вы почему не разделяете эти убеждения? А на лодках!.." А мысль одна: "Возьми, возьми меня, мою Лизу! Нет, меня! Ну, хоть попробуй!.." О мерзость! ложь! -- заключил он и, допив последний чай, принялся убирать чашки и посуду.

## IX

-- Да вы знаете, -- начал он, укладывая в мешок чай и сахар, -- то властвование женщин, от которого страдает мир, все это происходит от этого.

-- Как властвование женщин? -- сказал я. -- Правда, преимущества прав на стороне мужчин.

-- Да, да, это, это самое, -- перебил он меня. -- Это самое, то, что я хочу сказать вам, это и объясняет то необыкновенное явление, что, с одной стороны, совершенно справедливо то, что женщина доведена до самой низкой степени унижения, с другой стороны -- что она властвует. Точно так же как евреи, как они своей денежной властью отплачивают за свое угнетение, так и женщины. "А, вы хотите, чтобы мы были только торговцы. Хорошо, мы, торговцы, завладеем вами", -- говорят евреи. "А, вы хотите, чтобы мы были только предмет чувственности, хорошо, мы, как предмет чувственности, и поработим вас", -говорят женщины. Не в том отсутствие прав женщины, что она не может вотировать или быть судьей -- заниматься этими делами не составляет никаких прав, -- а в том, чтобы в половом общении быть равной мужчине, иметь право пользоваться мужчиной и воздерживаться от него по своему желанию, по своему желанию избирать мужчину, а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо. Тогда чтоб и мужчина не имел этих прав. Теперь же женщина лишена того права, которое имеет мужчина. И вот, чтоб возместить это право, она действует на чувственность мужчины, через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми.

-- Да где же эта особенная власть? -- спросил я.

-- Где власть? Да везде, во всем. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут, не оценишь положенных туда трудов людей, а посмотрите, в 0,9 этих магазинов есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Считите все фабрики. Огромная доля их работает бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плечу рабства и тяжелого труда держат 0,9 рода человеческого. А все оттого, что их унизили, лишили их равных прав с мужчинами. И вот они мстят действием на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, все от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противозаконное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет.

-- Да, вы смеетесь! -- закричал он на меня, -- а это вовсе не шутка. Я уверен, что придет время, и, может быть, очень скоро, что люди поймут это и будут удивляться, как могло существовать общество, в котором допускались такие нарушающие общественное спокойствие поступки, как те прямо вызывающие чувственность украшения своего тела, которые допускаются для женщин в нашем обществе. Ведь это все равно, что расставить по гуляньям, по дорожкам всякие капканы, -- хуже! Отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституточных, вызывающих чувственность нарядах не запрещены? Они опаснее в тысячу раз!

Х

-- Ну вот, так-то и меня поймали. Я был то, что называется, влюблен. Я не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяев в каком-нибудь отношении хуже себя и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой. Так и я: я женился не на деньгах -- корысть была ни при чем, не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей, -- я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в каком

они жили до брака; я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел.

Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства! Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумашь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах, было сказано, а дальше что? Ведь если бы мы были животные, то так бы и знали, что говорить нам не полагается; а тут, напротив, говорить надо и нечего, потому что занимает не то, что разрешается разговорами. А при этом еще этот безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие приготовления к свадьбе: толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах. Ведь вы поймите, что если женятся по Домострою, как говорил этот старик, то пуховики, приданое, постель -- все это только подробности, сопутствующие таинству. Но у нас, когда из десяти брачующихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что то, что он делает, есть некоторое обязательство, когда из ста мужчин едва ли один есть уже неженатый прежде и из пятидесяти один, который вперед не готовился бы изменять своей жене при всяком удобном случае, когда большинство смотрит на поездку в церковь только как на особенное условие обладания известной женщиной, -- подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, что дело-то все только в этом. Выходит что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями.

## XI

-- Так все женятся, так и я женился, и начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое! -- с злобой прошипел он. -- Я ходил раз в Париже по всем зрелищам и зашел посмотреть по вывеске женщину с бородой и водяную собаку. Оказалось, что это было больше ничего, как мужчина декольте в женском платье и собака, засунутая в моржовую кожу и плавающая в ванне с водой. Все было очень мало интересно; но когда я выходил, то меня учтиво провожал показыватель и, обращаясь к публике у входа, указывая на меня, говорил: "Вот спросите господина, стоит ли смотреть? Заходите, заходите, по франку с человека!" Мне совестно было сказать, что смотреть не стоит, и показывающий, вероятно, рассчитывал на это. Так, вероятно, бывает и с теми, которые испытали всю мерзость медового месяца и но разочаровывают других. Я тоже не разочаровывал никого, но теперь не вижу, почему не говорить правду. Даже считаю, что необходимо говорить об этом правду. Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности скучно! Это нечто вроде того, что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно. Наслаждение от куренья, так же как и от этого, если будет, то будет потом: надо, чтоб супруги воспитали в себе этот порок, для того чтоб получить от него наслаждение.

-- Как порок? -- сказал я. -- Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.

-- Естественном? -- сказал он. -- Естественном? Нет, я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это не... естественно. Да, совершенно не... естественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки. Моя сестра очень молодая вышла замуж за человека вдвое старше ее и развратника. Я помню, как мы были удивлены в ночь свадьбы, когда она, бледная и в слезах, убежала от него и, трясясь всем телом, говорила, что она ни за что, ни за что, что она не может даже сказать того, чего он хотел от нее.

Вы говорите: естественно! Естественно есть. И есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это.

-- Как же, -- сказал я, -- как же бы продолжался род человеческий?

-- Да вот как бы не погиб род человеческий! -- сказал он злобно-иронически, как бы ожидая этого знакомого ему и недобросовестного возражения. -- Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы английским лордам всегда можно было обжираться, -- это можно. Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы больше было приятности, -- это можно; а зайкнись только о том, чтобы воздерживаться от деторождения во имя нравственности, -- батюшки, какой крик: род человеческий как бы не прекратился оттого, что десяток-другой хочет перестать быть свиньями. Впрочем, извините. Мне неприятен этот свет, можно закрыть? -- сказал он, указывая на фонарь.

Я сказал, что мне все равно, и тогда он поспешно, как все, что он делал, встал на сиденье и задернул шерстяной занавеской фонарь.

-- Все-таки, -- сказал я, -- если бы все признали это для себя законом, род человеческий прекратился бы.

Он не сейчас ответил.

-- Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться?-сказал он, усевшись опять против меня и широко раскрыв ноги и низко опершись на них локтями. -- Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому? -- сказал он.

-- Как зачем? иначе бы нас не было.

-- Да зачем нам быть?

-- Как зачем? Да чтобы жить.

-- А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то Шопенгауэры и Гартманы, да и все буддисты совершенно правы. Ну, а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит, -говорил он с видимым волнением, очевидно очень дорожа своей мыслью. -- Так оно и выходит. Вы заметьте: если цель человечества-благо, добро, любовь, как хотите; если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копыта на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная, и злая, и упорная -- половая, плотская любовь, и потому если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотой. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит.

Выходит, что плотская любовь -- это спасительный клапан. Не достигло теперь живущее поколение человечества цели, то не достигло оно только потому, что в нем есть страсти, и сильнейшая из них -- половая. А есть половая страсть, и есть новое поколение, стало быть, и есть возможность достижения цели в следующем поколении. Не достигло и то, опять следующее, и так до тех пор, пока не достигнется цель, не исполнится пророчество, не соединятся люди воедино. А то ведь что бы вышло? Если допустить, что бог сотворил людей для достижения известной цели, и сотворил бы их или смертными, без половой страсти, или вечными. Если бы они были смертны, но без половой страсти, то вышло бы что? То, что они пожили бы и, не достигнув цели, умерли бы; а чтобы достигнуть цели, богу надо бы сотворять новых людей. Если же бы они были вечны, то положим (хотя это и труднее тем же людям, а не новым поколениям исправлять ошибки и приближаться к совершенству), положим, они бы достигли после многих тысяч лет цели, но тогда зачем же они? Куда ж их деть? Именно так, как есть, лучше всего... Но, может быть, вам не

нравится эта форма выражения, и вы эволюционист? То и тогда выходит то же самое. Высшая порода животных -- людская, для того чтобы удержаться в борьбе с другими животными, должна сомкнуться воедино, как рой пчел, а не бесконечно плодиться; должна так же, как пчелы, воспитывать бесполок, то есть опять должна стремиться к воздержанию, а никак не к разжиганию похоти, к чему направлен весь строй нашей жизни. -- Он помолчал. -- Род человеческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое?

Он долго молчал после этого, выпил еще чаю, докурил папироску и, достав из мешка новые, положил их в свою старую запачканную папиросочницу.

-- Я понимаю вашу мысль, -- сказал я, -- нечто подобное утверждают шекеры.

-- Да, да, и они правы, -- сказал он. -- Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно -- и главное к своей жене.

## XII

-- В нашем же мире как раз обратное: если человек еще думал о воздержании, будучи холостым, то, женившись, всякий считает, что теперь воздержание уже не нужно. Ведь эти отъезды после свадьбы, уединения, в которые с разрешения родителей отправляются молодые, -- ведь это не что иное, как разрешение на разврат. Но нравственный закон сам за себя оплачивает, когда нарушаешь его. Сколько я ни старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучною, стал спрашивать, о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений; но она не умела сказать. Я стал допрашивать, она что-то сказала, что ей грустно без матери. Мне показалось, что это неправда. Я стал уговаривать ее, промолчав о матери. Я не понял, что ей просто было тяжело, а мать была только отговорка. Но она тотчас же обиделась за то, что я умолчал о матери, как будто не поверив ей. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось, вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. "Как? что? -- думал я. -- Любовь-союз душ, и вместо этого вот что! Да не может быть, да это не она!" Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. Я называл ссорой то, что произошло между нами; но это была не ссора, а это было только вследствие прекращения чувственности обнаружившееся наше действительное отношение друг к другу. Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим нормальным отношением, не понимал этого потому, что это враждебное отношение в первое время

очень скоро опять закрылось от нас вновь поднявшеюся перегонной чувственностью, то есть влюблением.

И я подумал, что мы поссорились и помирились и что больше этого уже не будет. Но в этот же первый медовый месяц очень скоро наступил опять период пресыщения, опять мы перестали быть нужными друг другу, и произошла опять ссора. Вторая ссора эта поразила меня еще сильнее, чем первая. Стало быть, первая не была случайностью, а это так и должно быть и так и будет, думал я. Вторая ссора тем более поразила меня, что она возникла по самому невозможному поводу. Что-то такое из-за денег, которых я никогда не жалел и уж никак не мог жалеть для жены. Помню только, что она так как-то повернула дело, что какое-то мое замечание оказалось выражением моего желания властвовать над ней через деньги, на которых я утверждал будто бы свое исключительное право, что-то невозможное, глупое, подлое, несвойственное ни мне, ни ей. Я раздражился, стал упрекать ее в неделикатности, она меня, -- и пошло опять. И в словах и в выражении ее лица и глаз я увидел опять ту же, прежде так поразившую меня, жестокую, холодную враждебность. С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут. Но прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюбленностью, то есть чувственностью, и я еще утешался мыслью, что эти две ссоры были ошибки, которые можно исправить. Но вот наступила третья, четвертая ссора, и я понял, что это не случайность, а что это так должно быть, так и будет, и я ужаснулся тому, что предстоит мне. При этом мучила меня еще та ужасная мысль, что это один я только так дурно, непохоже на то, что я ожидал, живу с женой, тогда как в других супружествах этого не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь, но что все так же, как я, думают, что это их исключительное несчастье, скрывают это исключительное, постыдное свое несчастье не только от других, но и от самих себя, сами себе не признаются в этом.

Началось с первых дней и продолжалось все время, и все усиливаясь и ожесточаясь. В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я попался, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хотел признаться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и скрывал не только от других, но от себя. Теперь я удивляюсь, как я не видал своего настоящего положения. Его можно бы уже видеть потому, что ссоры начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего. Рассудок не поспевал подделывать под постоянно существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примиренья. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда... ох гадко и теперь вспомнить -- после самых жестоких слов друг другу вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия... Фу, мерзость! Как я мог не видеть всей гадости этого тогда...

### ХIII

Взошли два пассажира и стали усаживаться на дальней лавочке. Он молчал, пока они усаживались, но как только они затихли, он продолжал, очевидно ни на минуту не теряя нити своей мысли.

-- Ведь что, главное, погано, -- начал он, -- предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышенно. Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишествам, не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможности этих физических излишеств, не думая притом нисколько не только о ее духовной жизни, но даже и об ее физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно:

озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее.

Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления -- и за подстрекательство и за участие в преступлении. Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько! Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье! думают, что я убил ее тогда, ножом, пятого октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают, все, все...

-- Да чем же? -- спросил я.

-- Вот это-то и удивительно, что никто не хочет знать того, что так ясно и очевидно, того, что должны знать и проповедовать доктора, но про что они молчат. Ведь дело ужасно просто. Мужчина и женщина сотворены так, как животное, так что после плотской любви начинается беременность, потом кормление, такие состояния, при которых для женщины, так же как и для ее ребенка, плотская любовь вредна. Женщин и мужчин равное число. Что же из этого следует? Кажется, ясно. И не нужно большой мудрости, чтобы сделать из этого тот вывод, который делают животные, то есть воздержание. Но нет. Наука дошла до того, что нашла каких-то лейкоцитов, которые бегают в крови, и всякие ненужные глупости, а этого не могла понять. По крайней мере, не слышать, чтобы она говорила это.

И вот для женщины только два выхода: один -- сделать из себя урода, уничтожить или уничтожать в себе по мере надобности способность быть женщиной, то есть матерью, для того чтобы мужчина мог спокойно и постоянно наслаждаться; или другой выход, даже не выход, а простое, грубое, прямое нарушение законов природы, который совершается во всех так называемых честных семьях. А именно тот, что женщина, наперекор своей природе, должна быть одновременно и беременной, и кормилицей, и любовницей, должна быть тем, до чего не спускается ни одно животное. И сил не может хватить. И оттого в нашем быту истерики, нервы, а в народе -- кликуши. Вы заметьте, у девушек, у чистых, нет кликушества, только у баб, и у баб, живущих с мужьями. Так у нас. Точно так же и в Европе. Все больницы истеричных полны женщин, нарушающих закон природы. Но ведь кликуши и пациентки Шарко -- это совсем увечные, а полукалек женщин полон мир. Ведь только подумать, какое великое дело совершается в женщине, когда она понесла плод или когда кормит родившегося ребенка. Растет то, что продолжает, заменяет нас. И это-то святое дело нарушается -- чем же? -- страшно подумать! И толкуют о свободе, правах женщин. Это все равно, что людоеды откармливали бы людей пленных на еду и вместе с тем уверяли бы, что они заботятся о их правах и свободе.

Все это было ново и поразило меня.

-- Так как же? Если так, то, -- сказал я, -- выходит, что любить жену можно раз в два года, а мужчина...

-- Мужчине необходимо, -- подхватил он. -- Опять милые жрецы науки уверили всех. Я бы им, этим волхвам, велел исполнять должность тех женщин, которые, по их мнению, необходимы мужчинам, что бы они тогда заговорили? Внушите человеку, что ему необходима водка, табак, опиум, и все это будет необходимо. Выходит, что бог не понимал того, что нужно, и потому, не спросившись у волхвов, дурно устроил. Извольте видеть, дело не сходится. Мужчине нужно и необходимо, так решили они, удовлетворять свою похоть, а тут замешалось деторождение и кормление детей, мешающие удовлетворению этой потребности. Как же быть-то? Обратиться к волхвам, они устроят. Они и придумали. Ох, когда это развенчаются эти волхвы с своими обманами? Пора! Дошло уже вот докуда, с ума сходят и стреляются, и все от этого. Да как же иначе? Животные как будто знают, что потомство продолжает их род, и держатся известного закона в этом отношении. Только человек этого знать не знает и не хочет. И озабочен только тем, чтобы иметь как можно больше удовольствия. И это кто же? Царь природы, человек. Ведь вы заметьте, животные

сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы -- всегда, только бы приятно. И мало того, возводит это обезьянье занятие в перл создания, в любовь. И во имя этой любви, то есть пакости, губит -- что же? -- половину рода человеческого. Из всех женщин, которые должны бы быть помощницами в движении человечества к истине и благу, он во имя своего удовольствия делает не помощниц, но врагов. Посмотрите, что тормозит повсюду движение человечества вперед? Женщины. А отчего они такие? А только от этого. Да-с, да-с, -- повторил он несколько раз и стал шевелиться, доставать папиросы и курить, очевидно желая несколько успокоиться.

#### XIV

-- Вот такой-то свиньей я и жил, -- продолжал он опять прежним тоном. -- Хуже же всего было то, что, живя этой скверной жизнью, я воображал, что потому, что я не соблазняюсь другими женщинами, что поэтому я живу честной семейной жизнью, что я нравственный человек и что я ни в чем не виноват, а что если у нас происходят ссоры, то виновата она, ее характер.

Виновата же была, разумеется, не она. Она была такая же, как и все, как большинство. Воспитана она была, как того требует положение женщины в нашем обществе, и поэтому как и воспитываются все без исключения женщины обеспеченных классов и как они не могут не воспитываться. Толкуют о каком-то новом женском образовании. Все пустые слова: образование женщины точно такое, какое должно быть при существующем не притворном, а истинном всеобщем взгляде на женщину.

И образование женщины будет всегда соответствовать взгляду на нее мужчины. Ведь все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину: "Wein, Weiber und Gesang" [Вино, женщины и песни (нем.)], и так в стихах поэты говорят. Возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Фрин, вы видите, что женщина есть орудие наслаждения; она такова на Трубе, и на Грачевке, и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола: ну, наслаждение, удовольствие, так как бы и знать, что удовольствие, что женщина сладкий кусок. Нет, сначала рыцари уверяли, что они боготворят женщину (боготворят, а все-таки смотрят на нее как на орудие наслаждения). Теперь уже уверяют, что уважают женщину. Одни уступают ей место, поднимают ей платки; другие признают ее права на занятие всех должностей, на участие в правлении и т. д. Это все делают, а взгляд на нее все тот же. Она орудие наслаждения. Тело ее есть средство наслаждения. И она знает это. Все равно как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользование одних подневольным трудом многих. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться подневольным трудом других, считали бы это грехом или стыдом. А между тем возьмут отменяют внешнюю форму рабства, устроят так, что нельзя больше совершать купчих на рабов, и воображают и себя уверяют, что рабства уже нет, и не видят и не хотят видеть того, что рабство продолжает быть, потому что люди точно так же любят и считают хорошим и справедливым пользоваться трудами других. А как скоро они считают это хорошим, то всегда найдутся люди, которые сильнее или хитрее других и сумеют это сделать. То же и с эмансипацией женщины. Рабство женщины ведь только в том, что люди желают и считают очень хорошим пользоваться ею как орудием наслаждения. Ну, и вот освобождают женщину, дают ей всякие права, равные мужчине, но продолжают смотреть на нее как на орудие наслаждения, так воспитывают ее и в детстве и общественным мнением. И вот она все такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина все такой же развращенный рабовладелец.

Освобождают женщину на курсах и в палатах, а смотрят на нее как на предмет наслаждения. Научите ее, как она научена у нас, смотреть так на самую себя, и она всегда останется низшим существом. Или она будет с помощью мерзавцев-докторов предупреждать зарождение плода, то есть будет вполне проститутка, спустившаяся не на ступень животного, но на ступень вещи, или она будет то, что она есть в большей части

случаев, -- больной душевно, истеричной, несчастной, какие они и есть, без возможности духовного развития.

Гимназии и курсы не могут изменить этого. Изменить это может только перемена взгляда мужчин на женщин и женщин самих на себя. Переменится это только тогда, когда женщина будет считать высшим положением положение девственницы, а не так, как теперь, высшее состояние человека -- стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой девушки, какое бы ни было ее образование, будет все-таки тот, чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно больше самцов, с тем чтобы иметь возможность выбора.

А то, что одна побольше знает математики, а другая умеет играть на арфе, -- это ничего не изменит. Женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать, когда она обворочит мужчину. И потому главная задача женщины-уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни в нашем мире, так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, в замужней -- для властвования над мужем.

Одно, что прекращает или хоть подавляет на время это, это -- дети, и то тогда, когда женщина не урод, то есть сама кормит. Но тут опять доктора.

С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, -- доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые не переставая терзали меня во все время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, то есть безнравственно.

## XV

-- Я во все время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора запретили ей кормить. Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни; во-вторых, потому, что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую, тем более что она была совершенно здорова и, несмотря на запрещение милых докторов, кормила следующих детей сама и выкормила прекрасно.

-- Однако вы не любите докторов, -- сказал я, заметив особенно злое выражение голоса всякий раз, как он упоминал только о них.

-- Тут не дело любви и не любви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей, а я не могу не связывать следствия с причиной. Я понимаю, что им хочется, так же как и адвокатам и другим, наживать деньги, и я бы охотно отдал им половину своего дохода, и каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка, только чтобы они не вмешивались в вашу семейную жизнь, никогда бы близко не подходили к вам. Я ведь не собирал сведений, но я знаю десятки случаев -- их пропасть, -- в которых они убили то ребенка в утробе матери, уверяя, что мать не может разродиться, а мать потом рождает прекрасно, то матерей под видом каких-то операций. Ведь никто не считает этих убийств, как не считали убийств инквизиции, потому что предполагалось, что это на благо человечества. Перечесать нельзя

преступлений, совершаемых ими. Но все эти преступления ничто в сравнении с тем нравственным растлением материализма, которое они вносят в мир, особенно через женщин. Уж не говорю про то, что если только следовать их указаниям, то благодаря заразам везде, во всем, людям надо не идти к единению, а к разъединению: всем надо, по их учению, сидеть врозь и не выпускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой (впрочем, открыли, что и она не годится). Но и это ничего. Яд главный-в разращении людей, женщин в особенности.

Нынче уж нельзя сказать: "Ты живешь дурно, живи лучше", -нельзя этого сказать ни себе, ни другому. А если дурно живешь, то причина в ненормальности нервных отправлениях или т. п. И надо пойти к ним, а они пропишут на тридцать пять копеек в аптеке лекарства, и вы принимайте. Вы сделаетесь еще хуже, тогда еще лекарства и еще доктора. Отличная штука!

Но не в этом дело. Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей и что это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше. Дети спасали меня и ее. В восемь лет у ней родилось пять человек детей. И всех она кормила сама.

-- Где же они теперь, ваши дети? -- спросил я.

-- Дети? -- испуганно переспросил он.

-- Извините меня, может быть, вам тяжело вспоминать?

-- Нет, ничего. Детей моих взяла моя свояченица и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. А то я воспитаю их так, что они не будут такими, как их родители. А надо, чтоб были такие же. Ну, да что делать! Понятно, что мне их не дадут и не поверят. Да я и не знаю, был ли бы я в силах воспитать их. Я думаю, нет. Я -- развалина, калека. Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают.

Да, дети живы и растут такими же дикарями, как и все вокруг них. Я видел их, три раза видел. Ничего я не могу для них сделать. Ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик.

Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах -- это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, это трудно, ужасно трудно...

Вы хоть слушаете, я и то благодарен.

## XVI

-- Вот вы напомнили про детей. Опять какое страшное лганье идет про детей. Дети -- благословенье божие, дети -- радость. Ведь это все ложь. Все это было когда-то, но теперь ничего подобного нет. Дети -- мученье, и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют и иногда нечаянно прямо так и говорят это. Спросите у большинства матерей нашего круга достаточных людей, они вам скажут, что от страха того, что дети их могут болеть и умирать, они не хотят иметь детей, не хотят кормить, если уж родили, для того чтобы не привязаться и не страдать. Наслажденье, которое доставляет им ребенок прелестью его, этих ручек, ножек, тельца всего, удовольствие, доставляемое ребенком, -- меньше страданья, которое они испытывают -- не говоря уже от болезни или потери ребенка, но от одного страха за возможность болезней и смерти. Взвесив выгоды и невыгоды, оказывается, что невыгодно и потому нежелательно иметь детей. Они это прямо, смело говорят, воображая, что эти чувства происходят в них от любви к детям, чувства хорошего и похвального, которым они гордятся. Они не замечают того, что этим рассуждением они прямо отрицают любовь, а утверждают только свой эгоизм. Для них меньше удовольствия от прелести ребенка, чем страданий от страха за него, и потому не

надо того ребенка, которого они будут любить. Они жертвуют не собою для любимого существа, а имеющим быть любимым существом для себя.

Ясно, что это не любовь, а эгоизм. Но и осудить их, матерей достаточных семей, за этот эгоизм -- не поднимается рука, когда вспомнишь все то, что они перемучаются от здоровья детей благодаря опять тем же докторам в нашей господской жизни. Как вспомню только, даже теперь, жизнь и состояние жены в первое время, когда было трое, четверо детей и она вся была поглощена ими, -- ужас берет. Жизни нашей не было совсем. Это была какая-то вечная опасность, спасенье от нее, вновь наступившая опасность, вновь, отчаянные усилия и вновь спасенье -- постоянно такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делалось, что она прикидывалась беспокоящейся о детях, для того чтобы победить меня. Так это заманчиво, просто разрешало в ее пользу все вопросы. Мне казалось иногда, что все, что она в этих случаях делала и говорила, -- она делала и говорила нарочно. Но нет, она сама страшно мучалась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была пытка для нее и для меня тоже. И нельзя ей было не мучаться. Ведь влечение к детям, животная потребность кормить, лелеять, защищать их -- была, как она и есть у большинства женщин, но не было того, что есть у животных, -- отсутствия воображения и рассудка. Курица не боится того, что может случиться с ее цыпленком, не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его, не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасти от болезней и смерти. И дети для нее, для курицы, не мученье. Она делает для своих цыплят то, что ей свойственно и радостно делать; дети для нее радость. И когда цыпленок начинает болеть, ее заботы очень определенные: она греет, кормит его. И, делая это, знает, что она делает все, что нужно. Издохнет цыпленок, она не спрашивает себя, зачем он умер, куда он ушел, поквохчет, потом перестанет и продолжает жить по-прежнему. Но для наших несчастных женщин и для моей жены было не то. Уж не говоря о болезнях -- как лечить, о том, как воспитывать, растить, она со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразные и постоянно изменяющиеся правила. Кормить так, тем; нет, не так, не тем, а вот этак; одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух, -- на все это мы, она преимущественно, узнавала всякую неделю новые правила. Точно со вчерашнего дня начали рожаться дети. А не так накормили, не так искупали, не вовремя, и заболел ребенок, и оказывается, что виновата она, сделала не то, что надо делать.

Это пока здоровье. И то мученье. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад. Предполагается, что болезнь можно лечить и что есть такая наука и такие люди -- доктора, и они знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен, и надо попасть на этого самого лучшего, того, который спасает, и тогда ребенок спасен; а не захватил этого доктора или живешь не в том месте, где живет этот доктор, -- и ребенок погиб. И это не ее исключительная вера, а это вера всех женщин ее круга, и со всех сторон она слышит только это: у Екатерины Семеновны умерло двое, потому что не позвали вовремя Ивана Захарыча, а у Марьи Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку; а вот у Петровых вовремя, по совету доктора, разъехались по гостиницам -- и остались живы, а не разъехались -- и померли дети. А у той был слабый ребенок, переехали, по совету доктора, на юг -- и спасли ребенка. Как же тут не мучаться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животной привязана, зависит от того, что она вовремя узнает то, что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет Иван Захарыч, никто не знает, менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что он ничего не знает и ничему помочь не может, а сам только виляет как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает. Ведь если бы она была совсем животное, она так бы не мучалась; если же бы она была совсем человек, то у ней была бы вера в бога, и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: "Бог дал, бог и взял, от бога не уйдешь". Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей вне власти людей, а во власти только бога, и тогда бы она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезни и смерти детей, а она этого не сделала. А то для нее положение было такое: даны самые хрупкие,

подверженные самым бесчисленным бедствиям, слабые существа. К существам этим она чувствует страстную, животную привязанность. Кроме того, существа эти поручены ей, а вместе с тем средства сохранения этих существ скрыты от нас и открыты совсем чужим людям, услуги и советы которых можно приобретать только за большие деньги, и то не всегда.

Вся жизнь с детьми и была для жены, а потому и для меня, не радость, а мука. Как же не мучаться? Она и мучалась постоянно. Бывало, только что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать; только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг получается известие, что Васю рвет, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь, ну и конечно, жизни уж нет. Куда скакать, за какими докторами, куда отделить? И начинаются клистиры, температуры, микстуры и доктора. Не успеет это кончиться, как начинается что-нибудь другое. Правильной, твердой семейной жизни не было. А было, как я вам говорил, постоянное спасение от воображаемых и действительных опасностей. Так ведь это теперь в большинстве семей. В моей же семье было особенно резко. Жена была чадолюбива и легковерна.

Так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее. Кроме того, дети -- это был для нас новый повод к раздору. С тех пор как были дети и чем больше они росли, тем чаще именно сами дети были и средством и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием, борьбы; мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок -- орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекли каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам, в нашей постоянной войне, не до того было, чтобы думать о них. Девочка была моя сторонница, мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне.

## XVII

-- Ну-с, так и жили. Отношения становились все враждебнее и враждебнее. И, наконец, дошли до того, что уже не разногласие производило враждебность, но враждебность производила разногласие: что бы она ни сказала, я уж вперед был не согласен, и точно так же и она.

На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца. О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими; но она была противного мнения, и уступить-значило уступить ей. А этого я не мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, а уж я в своих глазах был всегда свят перед нею. Вдвоем мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой: "Который час? Пора спать. Какой нынче обед? Куда ехать? Что написано в газете? Послать за доктором. Горло болит у Маши". Стоило на волосок выступить из этого до невозможного сузившегося кружка разговоров, чтобы вспыхнуло раздражение. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ход в винте, -- все дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная! Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви -- период злобы; энергический период любви -- длинный период злобы, более слабое проявление любви -- короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и

злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов. Жить так было бы ужасно, если бы мы понимали свое положение; но мы не понимали и не видали его. В этом и спасенье и казнь человека, что, когда он живет неправильно, он может себя затуманивать, чтобы не видеть бедственности своего положения. Так делали и мы. Она старалась забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было свое пьянство -- пьянство службы, охоты, карт. Мы оба постоянно были заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг к другу. "Тебе хорошо гримасничать, -- думал я на нее, -- а ты вот меня промучала сценами всю ночь, а мне заседанье". -- "Тебе хорошо, -- не только думала, но и говорила она, -- а я всю ночь не спала с ребенком".

Так мы и жили, в постоянном тумане не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался.

А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видеть этого. Я еще не знал тогда, что 0,99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе. Тогда я еще не знал этого ни про других, ни про себя.

Удивительно, какие совпадения и в правильной и даже неправильной жизни! Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимы делаются и городские условия для воспитания детей. И вот является потребность переезда в город.

Он замолчал и раза два издал свои странные звуки, которые теперь уже совсем похожи были на сдержанные рыдания. Мы подошли к станции.

-- Который час? -- спросил он. Я взглянул, было два часа.

-- Вы не устали? -- спросил он.

-- Нет, но вы устали.

-- Меня душит. Позвольте, я пройду, выпью воды. И он, шатаясь, пошел через вагон. Я сидел один, перебирая все, что он сказал мне, и так задумался, что и не заметил, как он вернулся из другой двери.

## XVIII

-- Да, я все увлекаюсь, -- начал он. -- Много я передумал, на многое я смотрю по-иному, и все это хочется сказать. Ну, и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, все занято. Дела, общественные отношения, здоровье, искусства, здоровье детей, их воспитанье. То надо принимать тех и этих, ехать к тем и этим; то надо посмотреть эту, послушать этого или эту. Ведь в городе во всякий данный момент есть одна, а то сразу две, три знаменитости, которые нельзя никак пропустить. То надо лечить себя, того или этого, то учителя, репетиторы, гувернантки, а жизнь пустым-пустешенька. Ну, так мы и жили и меньше чувствовали боль от сожигания. Кроме того, первое время было чудесное занятие -- устройство в новом городе, на новой квартире, и еще занятие -- переездов из города в деревню и из деревни в город.

Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее никому не заметное, кажущееся ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни -- дети -- было отнято, и жизнь стала еще гаже.

Мужу, работнику, дети нужны, хотя и трудно ему выкормить, но они ему нужны, и потому его супружеские отношения имеют оправдание. Нам же, людям, имеющим детей, еще дети не нужны, они -- лишняя забота, расход, наследники, они тягость. И оправдания свиной жизни для нас уж нет никакого. Или мы искусственно избавляемся от детей, или смотрим на детей как на несчастье, последствие неосторожности, что еще гаже. Оправданий нет. Но мы так нравственно пали, что мы даже не видим надобности в оправдании. Большинство теперешнего образованного мира предается этому разврату без малейшего угрызения совести.

Нечему угрызаться, потому что совести в нашем быту нет никакой, кроме, если можно так назвать, совести общественного мнения и уголовного закона. А тут и та и другая не нарушаются: совеститься перед обществом нечего, все это делают: и Марья Павловна и Иван Захарыч. А то что ж разводить нищих или лишать себя возможности общественной жизни? Совеститься перед уголовным законом или бояться его тоже нечего. Это безобразные девки и солдаты бросают детей в пруды и колодцы; тех, понятно, надо сажать в тюрьму, а у нас все делается своевременно и чисто.

Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно.

## XIX

Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну. -- Извините меня, -- проговорил он и, устремив глаза в окно, молча просидел так минуты три. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое, глаза жалкие, и какая-то странная почти улыбка морщила его губы. -- Я устал немножко, но я расскажу. Еще времени много, не рассветало еще. Да-с, -- начал он опять, закурив папиросу. -- Она пополнила с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта -- страдание вечное о детях -- стало проходить; не то что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидела, что есть целый мир божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела, мир божий, которого она совсем не понимала. "Как бы не пропустить! У идет время, не ворогишь!" Так мне представляется, что она думала или скорее чувствовала, да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе: ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимания -- любовь. Она вышла замуж, получила кое-что из этой любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку -- детей! Мука эта истомила ее. И вот благодаря услужливым докторам она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, -- для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем была уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь, по крайней мере, я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, то есть говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражала смело, совсем не думая о том, что она час тому назад говорила противоположное, выражала полусерьезно, что материнская забота -- это обман, что не стоит того -- отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью, хотя она и скрывала это, и своими удовольствиями, и даже

усовершенствованием себя. Она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось.

Он опять повернулся к окну устало смотревшими глазами, но тотчас же опять, видимо сделав над собою усилие, продолжал:

-- Да-с, явился этот человек. -- Он замялся и раза два произвел носом свои особенные звуки.

Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нем. Но он сделал усилие и, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал:

-- Дрянной он был человек, на мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как неумяема была она. Не он, так другой, это должно было быть. -- Он опять замолчал. -- Да-с, это был музыкант, скрипач; не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек.

Отец его -- помещик, сосед моего отца. Он -- отец -- разорился, и дети -- три было мальчика -- все устроились; один только, меньшой этот, отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому что был талант к музыке, и он вышел оттуда скрипачом и играл в концертах. Человек он был... -- Очевидно, желая сказать что-то дурное про него, он воздержался и быстро сказал: -- Ну, уж там я не знаю, как он жил, знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне.

Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальны. Лезущий в фамильярность насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, с соблюдением внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усваивают себе иностранцы в Париже и что по своей особенности, новизне, всегда действует на женщин. В манерах деланная, внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками, как будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить.

Вот он-то с своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало, то есть не то, что ничуть не бывало, а то, да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж и что я убил, защищая свою поруганную честь (так ведь это называется по-ихнему). И от этого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены.

Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла, да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, то есть мое свинство. Все произошло оттого, что между нами была та страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстностью.

Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. Я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства, а она тоже отравлялась.

-- Да, это так было, и недолго перед тем. Жили мы как будто в перемирие, и нет никаких причин нарушать его; вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит: "Не медаль, а похвальный отзыв". Начинается спор. Начинается перепрыгивание с одного предмета на другой, попреки: "Ну, да это давно известно, всегда так: ты сказал..." -- "Нет, я не говорил", -- "Стало быть, я лгу!.." Чувствуешь, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня, и потому хотел бы удержаться, но злоба охватывает все твоё существо. Она в том же, еще худшем положении, нарочно перетолковывает всякое твоё слово, придавая ему ложное значение; каждое же её слово пропитано ядом; где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колет. Дальше, больше. Я кричу: "Молчи!" -или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать, и схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал си больно, и кричит: "Дети, ваш отец бьет меня!" Я кричу: "Не лги!"-"Ведь это уж не в первый раз!"-кричит она, или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней. Она успокаивает их. Я говорю: "Не притворяйся!" Она говорит: "Для тебя все притворство; ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя. Ты этого-то и хочешь!"-"О, хоть бы ты издохла!" -кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я мог сказать такие страшные, грубые слова, и удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Я кричу эти страшные слова и убегаю в кабинет, сажусь и курю. Слышу, что она выходит в переднюю и собирается уезжать. Я спрашиваю куда. Она не отвечает. "Ну, и черт с ней", -- говорю я себе, возвращаюсь в кабинет, опять ложусь и курю. Тысячи разных планов о том, как отомстить ей и избавиться от нее и как поправить все это и сделать так, как будто бы ничего не было, приходят мне в голову. Я все это думаю и курю, курю, курю. Думаю убежать от нее, скрыться, уехать в Америку. Дохожу до того, что мечтаю о том, как я избавлюсь от нее и как это будет прекрасно, как сойду с другой, прекрасной женщиной, совсем новой. Избавлюсь тем, что она умрет, или тем, что разведусь, и придумываю, как это сделать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, но и для того, чтобы не видеть, что я не то думаю, что нужно, для этого-то курю.

А жизнь дома идет. Приходит гувернантка, спрашивает: "Где madame? когда вернется?" Лакей спрашивает, подавать ли чай. Прихожу в столовую; дети, в особенности старшая Лиза, которая уж понимает, вопросительно и недоброжелательно смотрит на меня. Пьем молча чай. Ее все нет. Проходит весь вечер, ее нет, и два чувства сменяются в душе: злоба к ней за то, что она мучает меня и всех детей своим отсутствием, которое кончится же тем, что она приедет, и страх того, что она не приедет и что-нибудь сделает над собой. Я бы поехал за ней. Но где искать ее? У сестры? Но это глупо приехать спрашивать. Да и бог с ней; если она хочет мучать, пускай сама мучается. А то ведь она этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что, как она не у сестры, а что-нибудь делает или уже сделала над собой?.. Одиннадцать, двенадцать, час. Не иду в спальню, глупо одному там лежать и ждать, и тут же ложусь. Хочу чем-нибудь заняться, написать письма, читать; ничего не могу. Сажу один в кабинете, мучаюсь, злюсь и прислушиваюсь. Три, четыре часа -- ее все нет. К утру засыпаю. Просыпаюсь- ее нет.

Все в доме идет по-старому, но все в недоумение и все вопросительно и укоризненно смотрят на меня, предполагая, что все это от меня. А во мне все та же борьба -- злобы за то, что она меня мучает, и беспокойства за нее.

Около одиннадцати приезжает ее сестра посланцем от нее. И начинается обычное: "Она в ужасном положении. Ну что же это!" -- "Да ведь ничего не случилось". Я говорю про невозможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал.

-- Да ведь не может же это так оставаться, -- говорит сестра.

-- Все ее дело, а не мое, -- говорю я. -- Я первого шага не сделаю. Разойтись, так разойтись.

Свояченица уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага, но как она уехала и я вышел и увидел детей жалких, испуганных, я уже готов делать первый шаг. И рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю, выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю: не вижу глупости, подлости своего положения.

Около трех приезжает она. Встречая меня, она ничего не говорит. Я воображаю, что она смирилась, начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшно измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей, что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго, торжественно смотрит на меня и потом говорит:

--- Не говори больше, ты расквасишься.

Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату. И за ней звенит ключ: она заперлась. Я толкаюсь, нет ответа, и я с злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в слезах.

-- Что? что-нибудь случилось?

-- Мама не слышно.

Идем. Я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо задвинута, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство. Еще слезы и, наконец, примирение. И не примирение: в душе у каждого та же старая злоба друг против друга с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит на счет другого. Но надо же как-нибудь кончить все это, и жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно, то раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день. И все одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт-ссора продолжалась два дня, -- но потом опять полуобъяснение, полупримирение -- и я остался.

## XXI

-- Так вот в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек -- фамилия его Трухачевский -- и явился ко мне. Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на "ты". Он попытался серединными фразами между "ты" и "вы" удержаться на "ты", но я прямо дал тон на "вы", и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но, странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомя с женою. Но нет, я, как нарочно, заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что, напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, но что жена моя хорошо играет.

Удивительное дело! Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свиданья с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Что-то было напряженное в моих отношениях с ним: я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность.

Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокояще красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидав меня, она тотчас же поняла мое чувство и изменила свое выражение, и началась эта игра взаимного обманыванья. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид,

что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво-улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Я видел, что с первого же свиданья у ней особенно заблестели глаза, и, вероятно вследствие моей ревности, между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела -- и он краснел, она улыбалась -- он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он встал, чтобы уезжать, и, улыбаясь, со шляпой на поддрагивающей ляжке стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее. "И не думай, чтоб я ревновал тебя", -мысленно сказал я ей, -"или чтоб я боялся тебя", -мысленно сказал я ему и пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на меня, вспыхнула и, как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще более раздражил меня, и я еще больше настаивал. Помню то странное чувство, с которым я смотрел на его затылок, белую шею, отделявшуюся от черных, расчесанных на обе стороны волос, когда он своей подпрыгивающей, какой-то птичьей походкой выходил от нас. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучало меня. "От меня зависит, -думал я, -сделать так, чтобы никогда не видеть его". Но сделать так -- значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его! Это было бы слишком унижительно, говорил я себе. И тут же, в передней, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал.

Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовления. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, устраивал ему пюпитр, переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру.

Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же, хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер не переставая мучался ревностью.

С первой минуты как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: "Можно?" -- и ответил: "О да, очень". Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому. Потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимал этого, но я, так же как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе как по-писаному. Мучался я особенно тем, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прорываемого привычной чувственностью, а что этот человек, и по своей внешней элегантности и новизне, и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему из совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а несомненно без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно. Но, несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены ли, или для него я это делал, чтоб показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтоб обмануть самого себя, -не знаю, только я но мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был, для того чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил

его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось.

И Позднышев в сильном волнении переменял положение и издал свой особенный звук.

-- Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека, -- начал он опять, очевидно делая усилие, для того чтобы быть спокойным. -- Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого, вхожу в переднюю и вдруг чувствую, что-то тяжелое, как камень, наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, что это. Это что-то было то, что, проходя через переднюю, я заметил что-то напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет в том, что это было, и вернулся в переднюю, чтобы проверить себя. Да, я не ошибся: это была его шинель. Знаете, модная шинель. (Все, что его касалось, хотя я и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью.) Спрашиваю, -- так и есть, он тут. Прохожу не через гостиную, а через классную, в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой у стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена, и слышу оттуда равномерное *agreggio* и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуи, может быть. Боже мой! что тут поднялось во мне! Как вспомню только про того зверя, который жил во мне тогда, ужас берет; Сердце вдруг сжалось, остановилось и потом заколотило, как молотком. Главное чувство, как и всегда, во всякой злости, было -- жалость к себе. "При детях, при няне!" -- думал я. Должно быть, я был страшен, потому что и Лиза смотрела на меня странными глазами. "Что ж мне делать? -- спросил я себя. -- Войти? Я не могу, я бог знает что сделаю". Но не могу и уйти. Няня глядит на меня так, как будто она понимает мое положение. "Да нельзя не войти", -- сказал я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти *agreggio* своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидела или услышала и взглянула на меня. Испугалась ли она и притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась, а только покраснела, и то после.

-- Как я рада, что ты пришел; мы не решили, что играть в воскресенье, -- сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала "мы" про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним.

Он пожал мне руку и тотчас же с улыбкой, которая мне прямо казалась насмешливой, начал объяснять мне, что он принес ноты для приготовления к воскресенью и что вот между ними несогласие, что играть: более трудное и классическое, именно Бетховенскую сонату со скрипкой, или маленькие вещицы? Все было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему придаться, а вместе с тем я был уверен, что все это было неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня.

Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев (а ревнивцы все в нашей общественной жизни) -- это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости на балах, близости докторов с своей пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное -- музыкой. Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством, музыкой; для этого нужна известная близость, и близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый, ревнивый муж может видеть тут что-либо нежелательное. А между тем все знают, что именно посредством этих самых занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе. Я, очевидно, смутил их тем смущением, которое выражалось во мне: я долго ничего не мог сказать. Я был как перевернутая бутылка, из которой вода не идет оттого, что она слишком полна. Я хотел изругать, выгнать его, но я чувствовал, что я должен был опять быть любезным и ласковым с ним. Я так и сделал. Я сделал вид, что одобряю все, и опять по тому странному чувству, которое заставляло меня обращаться с

ним с тем большей лаской, чем мучительнее мне было его присутствие, я сказал ему, что полагаюсь на его вкус и ей советую то же. Он побыл настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить неприятное впечатление, когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал, -- и уехал, притворяясь что теперь решили, что играть завтра. Я же был вполне уверен, что в сравнении с тем, что занимало их, вопрос о том, что играть, был для них совершенно безразличен.

Я с особенной учтивостью проводил его до передней (как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи!). Я жал с особенной лаской его белую, мягкую руку.

## XXII

-- Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал когда. Она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего и молча просидел за столом и молча же ушел в кабинет. Последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. И в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. "Неужели она идет ко мне?" -думал я, слушая ее приближающиеся шаги. Если ко мне, то я прав, значит. И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги. Неужели не пройдет мимо, в залу? Нет, дверь скрипнула, и в дверях ее высокая, красивая фигура, и в лице, в глазах -- робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и значение которого я знаю. Я чуть не задохнулся, так долго я удерживал дыханье, и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать.

-- Ну что это, к тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь, -- и она села близко ко мне на диван, прислоняясь ко мне.

Я отстранился, чтоб не касаться ее.

-- Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье, -- сказала она.

-- Я несколько не доволен, -- сказал я.

-- Разве я не вижу?

-- Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя, как кокотка...

-- Да если ты хочешь браниться, как извозчик, то я уйду.

-- Уходи, только знай, что если тебе не дорога честь семьи, то мне не ты дорога (черт с тобой), но честь семьи.

-- Да что, что?

-- Убирайся, ради бога убирайся!

Притворялась она, что не понимает, о чем, или действительно не понимала, но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посередине комнаты.

-- Ты решительно стал невозможен, -- начала она. -- Это такой характер, с которым ангел не уживется, -- и, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой (это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости; она знала, что это мучит меня, и в это место кольнула меня).-После этого меня уж ничто не удивит от тебя, -- сказала она.

"Да, оскорбить, унижить, опозорить и поставить меня же в виноватых", -- сказал я себе, и вдруг меня охватила такая страшная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал.

Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней; но в ту же минуту, как я вскочил, я помню, что я сознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству, и тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это

испугает ее, и тотчас же, вместо того чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне.

-- Убирайся, или я тебя убью! -- закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И должно быть, я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела силы уйти, а только говорила:

-- Вася, что ты, что с тобой?

-- Уходи! -- заревел я еще громче. -- Только ты можешь довести меня до бешенства. Я не отвечаю за себя!

Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить ее, но я знал, что этого нельзя, и потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричав: "Уходи!"-швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока еще она видела (я сделал это для того, чтобы она видела), я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу, и бросать оземь их, продолжая кричать:

-- Уйди! убирайся! Я не отвечаю за себя!

Она ушла -- и я тотчас же перестал.

Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел; она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна.

К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью.

Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странно даже ей казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку.

-- Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да если хочешь, я готова никогда не видеть его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова, и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это.

И она ведь не лгала, она верила в то, что говорила; она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это. Все было направлено против нее, в особенности эта проклятая музыка. Так все и кончилось, и в воскресенье собрались гости, и они опять играли.

### XXIII

-- Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен: если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить. Ну, и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей.

К шести часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, на все отвечал поспешно с улыбочкой согласия и понимания, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучался уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть; во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то, что я не ревновал, я все-таки был

ненатурален с ним и с нею и во время обеда и первую половину вечера, пока не началась музыка. Я все еще следил за движениями и взглядами их обоих.

Обед был как обед, скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера; помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой крышку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость -- робость преимущественно перед своим умением, -- с притворным видом села за рояль, и начались обычные *la* на фортепиано, *pizzicato* скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что-то друг другу, и началось. Он взял первый аккорд. У него сделалось серьезное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожными пальцами дернул по струнам, и рояль ответил ему. И началось...

Он остановился и несколько раз сряду произвел свои звуки. Хотел начать говорить, но засопел носом и опять остановился.

-- Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете?! -- вскрикнул он. -- У!.. Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом, -- вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося.

Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, -- Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, -- это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, -- нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек.

А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно; мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как, как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена и он, представлялись совсем в другом свете. После этого престо они

доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое *andante* с пошлыми варьяциями и совсем слабый финал. Потом еще играли по просьбе гостей то "Элегию" Эрнста, то еще разные вещицы. Все это было хорошо, но все это не произвело на меня и 0,01 того впечатления, которое произвело первое. Все это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видал такую, какую она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались.

Зная, что я должен был через два дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно. Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся.

Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку и благодарил его за удовольствие. Он также совсем простился с женой. И их прощанье показалось мне самым натуральным и приличным. Все было прекрасно. Мы оба с женою были очень довольны вечером.

## XXIV

-- Через два дня я уехал в уезд, в самом хорошем, спокойном настроении простившись с женой. В уезде всегда бывало пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. Два дня я по десяти часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствие принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты: мне казалось, что он тогда простился совсем, и потому это неприятно поразило меня. Но дела было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорей. "Какое мерзкое чувство эта ревность! -- сказал я себе. -- Что может быть естественнее того, что она пишет?"

И я лег в постель и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих съездов, на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический, и просыпаешься. Так я проснулся, и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между нею и им все кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце. Но я стал образумливать себя. "Что за вздор, - говорил я себе, - нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы. Что-то вроде наемного скрипача, известный за дрянного человека, и вдруг женщина почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена! Что за нелепость!" - представлялось мне с одной стороны. "Как же этому не быть?" -- представлялось мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней, то самое, во имя чего я с нею жил, чего одного в ней нужно было и мне и чего поэтому нужно было и другим и этому музыканту. Он человек неженатый, здоровый (помню, как он хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый, гладкий, и не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же

может удержать его? Ничто. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только как животное. А животное ничто не может, не должно удержать.

Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после Крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помню кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. "Как я мог уехать? -- говорил я себе, вспоминая их лица. -- Разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? и разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними?" Помню, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с покрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Я с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный мною их взгляд с чуть заметной улыбкой. "Да, все кончено", -- говорил мне один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое. "Это что-то нашло на тебя, этого не может быть", -- говорил этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте, я зажег спичку, и мне как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску и, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу неразрешающихся противоречий, -- куришь, и я курил одну папироску за другой, для того чтобы затуманить себя и не видеть противоречий.

Я не заснул всю ночь, и в пять часов, решив, что не могу оставаться более в этом напряжении и сейчас же поеду, я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадьми. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву; потому прошу, чтобы меня заменил член. В восемь часов я сел в тарантас и поехал.

## XXV

Вошел кондуктор и, заметив, что свеча наша догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать. Позднышев молчал, тяжело вздыхая все время, пока в вагоне был кондуктор. Он продолжал свой рассказ, только когда вышел кондуктор и в полутемном вагоне послышался только треск стекол движущегося вагона и равномерный храп приказчика. В полусвете зари мне совсем уже не видно его было. Слышен был только его все более и более взволнованный, страдающий голос.

-- Ехать надо было тридцать пять верст на лошадях и восемь часов по чугунке. На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, эта пора, когда шипы выпечатываются на масляной дороге. Дороги гладкие, свет яркий и воздух бодрящий. В тарантасе ехать было хорошо. Когда рассвело и я поехал, мне стало легче. Глядя на лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне особенно радостно бывало так забываться. Когда же я вспоминал, куда я еду, я говорил себе: "Тогда видно будет, не думай". На середине дороги сверх того случилось событие, задержавшее меня в дороге и еще больше развлекшее меня: тарантас сломался, и надо было чинить его. Поломка эта имела большое значение тем, что она сделала то, что я приехал в Москву не в пять часов, как я рассчитывал, а в двенадцать часов и домой -- в первом часу, так как я не попал на курьерский, а должен был уже ехать на пассажирском. Поездка за телегой, починка, расплата, чай на постоялом дворе, разговоры с дворником -- все это еще больше развлекло меня. Сумерками все было готово, и я опять поехал, и ночью еще лучше было ехать, чем днем. Был молодой месяц, маленький мороз, еще прекрасная дорога, лошади, веселый ямщик, и я ехал и наслаждался, почти совсем не думая о том, что меня ожидает, или именно потому особенно наслаждался, что знал, что меня ожидает, и прощался с радостями жизни. Но это спокойное состояние мое,

возможность подавлять свое чувство кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Этот восьмичасовой переезд в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь. Оттого ли, что, сев в вагон, я живо представил себя уже приехавшим, или оттого, что железная дорога так возбуждающе действует на людей, но только, с тех пор как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением, и оно не переставая с необычайной яркостью начало рисовать мне разжигающие мою ревность картины, одну за другой и одну циничнее другой, и все о том же, о том, что происходило там, без меня, как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них; не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что я воображал, было действительность. Какой-то дьявол, точно против моей воли, придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения. Давнишний разговор с братом Трухачевского вспомнился мне, и я с каким-то восторгом раздираю себе сердце этим разговором, относя его к Трухачевскому и моей жене.

Это было очень давно, но я вспомнил это. Брат Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену. "Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нет сбоку и есть пухлость некоторая, -- думал я за него, -- но что же делать, надо пользоваться тем, что есть".- "Да, он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей, -- говорил я себе. -- Притом она безопасна".-"Нет, это невозможно! Что я думаю! -- ужасаясь, говорил я себе.- Ничего, ничего подобного нет. И нет даже никаких оснований что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила мне, что ей унижительно даже мысль о том, что я могу ревновать к нему? Да, но она лжет, все лжет!" -- вскрикивал я -- и начиналось опять... Пассажиров в нашем вагоне было только двое -- старушка с мужем, оба очень неразговорчивые, и те вышли на одной из станций, и я остался один. Я был как зверь в клетке: то я вскакивал, подходил к окнам, то, шатаясь, начинал ходить, стараясь подогнать вагон; но вагон со всеми лавками и стеклами все точно так же подрагивал, вот как наш...

И Позднышев вскочил и сделал несколько шагов и опять сел.

-- Ох, боюсь я, боюсь я вагонов железной дороги, ужас находит на меня. Да, ужасно! -- продолжал он.- Я говорил себе: "Буду думать о другом. Ну, положим, о хозяине постоянного двора, у которого я пил чай". Ну вот, в глазах воображения возникает дворник с длинной бородой и его внук -- мальчик одних лет с моим Васей. Мой Вася! Он увидит, как музыкант целует его мать. Что сделается в его бедной душе? Да ей что! Она любит... И опять поднималось то же. Нет, нет... Ну, буду думать об осмотре больницы. Да, как вчера больной жаловался на доктора. А доктор с усами, как у Трухачевского. И как он нагло... Они оба обманывали меня, когда говорил, что он уезжает. И опять начиналось. Все, о чем я думал, имело связь с ним. Я страдал ужасно. Страдание главное было в неведении, в сомнениях, в раздвоении, в незнании того, что -- любить или ненавидеть надо ее. Страдания были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить. Тогда, по крайней мере, не будешь больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же непосредственно за собой вызывавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство и ненависти и сознания своего унижения и его победы, но к ней страшная ненависть. "Нельзя покончить с собой и оставить ее; надо, чтоб она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдал", -- говорил я себе. Я выходил на всех станциях, чтобы развлекаться. На одной станции я в буфете увидел, что пьют, и тотчас же сам выпил водки. Рядом со мной стоял еврей и тоже пил. Он разговорился, и я, чтобы только не оставаться одному в своем вагоне, пошел с ним в его грязный, накуренный и

забрызганный шелухой от семечек вагон третьего класса. Там я сел с ним рядом, и он много что-то болтал и рассказывал анекдоты. Я слушал его, но не мог понимать того, что он говорит, потому что продолжал думать о своем. Он заметил это и стал требовать к себе внимания; тогда я встал и ушел опять в свой вагон. "Надо обдумать, -- говорил я себе, -- правда ли то, что я думаю, и есть ли основание мне мучаться". Я сел, желая спокойно обдумать, но тотчас же вместо спокойного обдумыванья началось опять то же: вместо рассуждений -- картины и представления. "Сколько раз я так мучался, -- говорил я себе (я вспоминал прежние подобные припадки ревности), -- и потом все кончалось ничем. Так и теперь, может быть, даже наверное, я найду ее спокойно спящую; она проснется, обрадуется мне, и по словам, по взгляду я почувствую, что ничего не было и что все это вздор. О, как хорошо бы это!" -- "Но нет, это слишком часто было, и теперь этого уже не будет", -- говорил мне какой-то голос, и опять начиналось. Да, вот где была казнь! Не в сифилитическую больницу я сводил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе, посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее! Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над ее телом, как будто это было мое тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не мое и что она может распоряжаться им как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу. И я ничего не могу сделать ни ему, ни ей. Он, как Ванька-ключничек перед виселицей, спел песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и прочее. И верх его. А с ней еще меньше я могу что-нибудь сделать. Если она не сделала, но хочет, а я знаю, что хочет, то еще хуже: уж лучше бы сделала, чтоб я знал, чтоб не было неизвестности. Я не мог бы сказать, чего я хотел. Я хотел, чтоб она не желала того, что она должна желать. Это было полное сумасшествие!

## XXVI

-- На предпоследней станции, когда кондуктор пришел обирать билеты, я, собрав свои вещи, вышел на тормоз, и сознание того, что близко, вот оно решение, еще усилило мое волнение. Мне стало холодно, и я стал дрожать челюстями так, что стучал зубами. Я машинально с толпой вышел из вокзала, взял извозчика, сел и поехал. Я ехал, оглядывая редких прохожих, и дворников, и тени, бросаемые фонарями и моей пролеткой то спереди, то сзади, ни о чем не думая. Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногам, и я подумал о том, что снял в вагоне шерстяные чулки и положил их в сумку. Где сумка? тут ли? Тут. А где корзина? Я вспомнил, что я забыл совсем о багаже, но, вспомнив и достав расписку, решил, что не стоит возвращаться за этим, и поехал дальше.

Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния: что я думал? чего хотел? ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. Оттого ли произошло то важное, что я так думал, или оттого, что предчувствовал, -- не знаю. Может быть и то, что после того, что случилось, все предшествующие минуты в моем воспоминании получили мрачный оттенок. Я подъехал к крыльцу. Был первый час. Несколько извозчиков стояло у крыльца, ожидая седоков по освещенным окнам (освещенные окна были в нашей квартире, в зале и гостиной). Не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного вошел на лестницу и позвонил. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился, точно я ждал этого. "Так и есть", -- сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, и он назвал мне Трухачевского, я спросил, есть ли еще кто-нибудь. Он сказал:

-- Никого-с.

Помню, как он ответил мне это с такой интонацией, как будто желал порадовать меня и рассеять сомнения, что есть еще кто. "Никого-с. Так, так", -- как будто говорил я себе.

-- А дети?

-- Слава богу, здоровы. Давно спят-с.

Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей. "Да, стало быть, не так, как я думал: то прежде я думал -- несчастье, а оказалось все хорошо, по-старому. Теперь же вот не по-старому, а вот оно все то, что я представлял себе и думал, что только представлял, а вот оно все в действительности. Вот оно все..."

Я чуть было не зарыдал, но тотчас же дьявол подсказал: "Ты плачь, сентиментальничай, а они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучаться". И тотчас чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство -- вы не поверите -- чувство радости, что кончится теперь мое мученье, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что я могу дать волю моей злобе. И я дал волю моей злобе -- я сделался зверем, злым и хитрым зверем.

-- Не надо, не надо, -- сказал я Егору, хотевшему идти в гостиную, -- а ты вот что: ты поди, скорее возьми извозчика и поезжай; вот квитанция, получи вещи. Ступай.

Он пошел по коридору за своим пальто. Боясь, что он спугнет их, я проводил его до его каморки и подождал, пока он оделся. В гостиной, за другой комнатой, слышен был говор и звук ножей и тарелок. Они ели и не слышали звонка. "Только бы не вышли теперь", -- думал я. Егор надел свое пальто с астраханским барашком и вышел. Я выпустил его и запер за ним дверь, и мне стало жутко, когда я почувствовал, что остался один и что мне надо сейчас действовать. Как -- я еще не знал. Я знал только, что теперь все кончено, что сомнений в ее невинности не может быть, и что я сейчас накажу ее и кончу мои отношения с нею.

Прежде еще были у меня колебания, я говорил себе: "А может быть, это неправда, может быть, я ошибаюсь", -- теперь уж этого не было. Все было решено бесповоротно. Тайно от меня, одна с ним, ночью! Это уже совершенное забвение всего. Или еще хуже: нарочно такая смелость, дерзость в преступлении, чтобы дерзость эта служила признаком невинности. Все ясно. Сомнения нет. Я боялся только одного, как бы они не разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности улики, и возможности наказать. И с тем, чтоб скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую.

В первой детской мальчики спали. Во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться, и я представил себе то, что она подумает, узнав все, и такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез и, чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал.

"Я -- честный человек, я -- сын своих родителей, я -- всю жизнь мечтавший о счастье семейной жизни, я -- мужчина, никогда не изменявший ей... И вот пять человек детей, и она обнимает музыканта, оттого что у него красные губы! Нет, это не человек! Это сука, это мерзкая сука! Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь. И писать мне то, что она писала! И так нагло броситься на шею! Да что я знаю? может быть, все время это так было. Может быть, она давно с лакеями прижила всех детей, которые считаются моими. И завтра я бы приехал, и она в своей прическе, с своей этой талией и ленивыми грациозными движениями (я увидел все ее привлекательное ненавистное лицо) встретила бы меня, и зверь этот ревности навеки сидел бы у меня в сердце и раздирал бы его. Няня что подумает, Егор. И бедная Лизочка! Она уже понимала что-то. И эта наглость! и эта ложь! и эта животная чувственность, которую я так знаю", -- говорил я себе.

Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да, я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж, ей убить? Да нет, это бы ей было слишком выгодно, и этого удовольствия я не доставлю ей. Да, и я сижу, а они там едят и смеются, и... Да, несмотря на то, что она была уж не первой свежести, он не побрезгал ею: все-таки она была недурна, главное же, по крайней мере, было безопасно для его драгоценного

здоровья. "И зачем я не задушил ее тогда", -- сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад вытаскивал ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда; не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя ни минуты, и все только с одной определенной целью.

## XXVII

-- Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван, и помню, что я сказал себе: "Надо после найти их, а то пропадут". Потом я снял пальто, которое все время было на мне, и, мягко ступая в одних чулках, пошел туда.

И подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню это выражение, потому что выражение это доставило мне мучительную радость. Это было выражение ужаса. Этого-то мне и надо было. Я никогда не забуду выражение отчаянного ужаса, которое выступило в первую секунду на обоих их лицах, когда они увидели меня. Он сидел, кажется, за столом, но, увидав или услышав меня, вскочил на ноги и остановился спиной к шкафу. На его лице было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было то же выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если бы оно было одно, может быть, не случилось бы того, что случилось; но в выражении ее лица было, по крайней мере показалось мне в первое мгновение, было еще огорченье, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним. Ей как будто ничего не нужно было, кроме того, чтобы ей не мешали быть счастливой теперь. То и другое выражение только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас же сменилось выражением вопроса: можно лгать или нет? Если можно, то надо начинать. Если нет, то начнется еще что-то другое. Но что? Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице выражение досады и огорчения сменилось, как мне показалось, когда она взглянула на него, заботою о нем.

На мгновение я остановился в дверях, держа кинжал за спиной. В это же мгновение он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал:

-- А мы вот музицировали...

-- Вот не ждала, -- в то же время начала и она, покоряясь его тону.

Но ни тот, ни другой не договорили: то же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга бешенства и отдался ему.

Оба не договорили... Началось то другое, чего он боялся, что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидел, и, чего я никак не ждал от него, он схватил меня за руку и крикнул:

-- Опомнитесь, что вы! Люди!

Я вырвал руку и молча бросился к нему. Его глаза встретились с моими, он вдруг побледнел как полотно, до губ, глаза сверкнули как-то особенно, и, чего я тоже никак не ожидал, он шмыгнул под фортепиано, в дверь. Я бросился было за ним, но на левой руке моей повисла тяжесть. Это была она. Я рванулся. Она еще тяжелее повисла и не выпускала. Неожиданная эта помеха, тяжесть и ее отвратительное мне прикосновение еще больше разожгли меня. Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо.

Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною. Я повернулся к ней. Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. В лице ее были страх и ненависть ко мне, к врагу, как у крысы, когда поднимают мышеловку, в которую она попала. Я, по крайней мере, ничего не видел в ней, кроме этого страха и ненависти ко мне. Это был тот самый страх и ненависть ко мне, которые должна была вызвать любовь к другому. Но еще, может быть, я удержался бы и не сделал бы того, что я сделал, если бы она молчала. Но она вдруг начала говорить и хватать меня рукой за руку с кинжалом.

-- Опомнись! Что ты? Что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего... Клянусь!

Я бы и еще помедлил, но эти последние слова ее, по которым я заключил обратное, то есть, что все было, вызывали ответ. И ответ должен был быть соответствен тому настроению, в которое я привел себя, которое все шло *crescendo* [нарастая -- итал.] и должно было продолжать так же возвышаться. У бешенства есть тоже свои законы.

-- Не лги, мерзавка! -- завопил я и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была... Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер.

Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, -- это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что я буду делать, но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, несколько вперед, я знал, что я делаю, как будто для того, чтоб возможно было раскаяться, чтоб я мог себе сказать, что я мог остановиться. Я знал, что я ударяю ниже ребер и что кинжал войдет. В ту минуту, как я делал это, я знал, что я делаю нечто ужасное, такое, какого я никогда не делал и которое будет иметь ужасные последствия. Но сознание это мелькнуло как молния, и за сознанием тотчас же следовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Я долго потом, в тюрьме, после того как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте, вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужас этого сознания я помню и потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас же вытащил его, желая поправить сделанное и остановить. Я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет, можно ли поправить. Она вскочила на ноги, вскрикнула:

-- Няня! он убил меня!

Услышавшая шум няня стояла в дверях. Я все стоял, ожидая и не веря. Но тут из-под ее корсета хлынула кровь. Тут только я понял, что поправить нельзя, и тотчас же решил, что и не нужно, что я этого самого и хочу и это самое и должен был сделать. Я подождал, пока она упала и няня с криком: "Батюшки!" -- подбежала к ней, и тогда только бросил кинжал прочь и пошел из комнаты.

"Не надо волноваться, надо знать, что я делаю", -- сказал я себе, не глядя на нее и няню. Няня кричала, звала девушку. Я прошел коридором и, послав девушку, пошел в свою комнату. "Что теперь надо делать?" -- спросил я себя и тотчас же понял что. Войдя в кабинет, я прямо подошел к стене, снял с нее револьвер, осмотрел его -- он был заряжен -- и положил на стол. Потом достал ножны из-за дивана и сел на диван.

Долго я сидел так. Я ничего не думал, ничего не вспоминал. Я слышал, что там что-то возились. Слышал, как приехал кто-то, потом еще кто-то. Потом слышал и видел, как Егор внес мою привезенную корзину в кабинет. Точно кому-нибудь это нужно!

-- Слышал ты, что случилось? -- сказал я. -- Скажи дворнику, чтобы дали знать в полицию.

Он ничего не сказал и ушел. Я встал, запер дверь и, достав папироски и спичку, стал курить. Я не докурил папироски, как меня схватил и повалил сон. Я спал, верно, часа два. Помню, я видел во сне, что мы дружны с ней, поссорились, но миримся, и что немножко что-то мешает, но мы дружны. Меня разбудил стук в дверь. "Это полиция, -- подумал я, просыпаясь. -- Ведь я убил, кажется. А может быть, это она, и ничего не было". В дверь еще постучались. Я ничего не отвечал, решая вопрос: было это или не было? Да, было. Я вспомнил сопротивление корсета и погружение ножа, и мороз пробежал по спине. "Да, было. Да, теперь надо и себя", -- сказал я себе. Но я говорил это и знал, что я не убью себя. Однако я встал и взял опять в руки револьвер. Но странное дело: помню, как прежде много раз я был близок к самоубийству, как в тот день даже, на железной дороге, мне это легко казалось, легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. "Зачем я это сделаю?" -- спрашивал я себя, и ответа не было. В дверь постучались еще. "Да, прежде надо узнать, кто это стучится. Успею еще". Я положил револьвер и покрыл его газетой. Я подошел к двери и отодвинул задвижку. Это была сестра жены, добрая, глупая вдова.

-- Вася! что это? -- сказала она, и всегда готовые у ней слезы полились.

-- Что надо? -- грубо спросил я. Я видел, что совсем не надо было и незачем было быть с ней грубым, но я не мог придумать никакого другого тона.

-- Вася, она умирает! Иван Федорович сказал. -- Иван Федорович это был доктор, ее доктор, советчик.

-- Разве он здесь? -- спросил я, и вся злоба на нее поднялась опять. -- Ну так что ж?

-- Вася, поди к ней. Ах, как это ужасно, -- сказала она.

"Пойти к ней?"-задал я себе вопрос. И тотчас же ответил, что надо пойти к ней, что, вероятно, всегда так делается, что когда муж, как я, убил жену, то непременно надо идти к ней. "Если так делается, то надо идти, -- сказал я себе. -- Да если нужно будет, всегда успею", -- подумал я о своем намерении застрелиться и пошел за нею. "Теперь будут фразы, гримасы, но я не поддамся им", -- сказал я себе.

-- Постой, -- сказал я сестре, -- глупо без сапог, дай я надену хоть туфли.

## XXVIII

-- И удивительное дело! Опять, когда я вышел из комнаты и пошел по привычным комнатам, опять во мне явилась надежда, что ничего не было, но запах этой докторской гадости -- йодоформ, карболка -- поразил меня. Нет, все было. Проходя по коридору мимо детской, я увидел Лизоньку. Она смотрела на меня испуганными глазами. Мне показалось даже, что тут были все пятеро детей и все смотрели на меня. Я подошел к двери, и горничная изнутри отворила мне и вышла. Первое, что бросилось мне в глаза, было ее светло-серое платье на стуле, все черное от крови. На нашей двуспальной постели, на моей даже постели -- к ней был легче подход -- лежала она с поднятыми коленями. Она лежала очень отлого на одних подушках, в расстегнутой кофте. На месте раны было что-то наложено. В комнате был тяжелый запах йодоформа. Прежде и больше всего поразило меня се распухшее и синеющее по отекам лицо, часть носа и под глазом. Это было последствие удара моего локтем, когда она хотела удерживать меня. Красоты не было никакой, а что-то гадкое показалось мне в ней. Я остановился у порога.

-- Подойди, подойди к ней, -- говорила мне сестра.

"Да, верно, она хочет покаяться", -- подумал я. "Простить? Да, она умирает, и можно простить ее", -- думал я, стараясь быть великодушным. Я подошел вплоть. Она с трудом

подняла на меня глаза, из которых один был подбитый, и с трудом, с запинками проговорила:

-- Добился своего, убил... -- И в лице ее, сквозь физические страдания и даже близость смерти, выразилась та же старая, знакомая мне холодная животная ненависть. -- Детей... я все-таки тебе... не отдам... Она (ее сестра) возьмет...

О том же, что было главным для меня, о своей вине, измене, она как бы считала нестоящим упоминать.

-- Да, полюбуйся на то, что ты сделал, -- сказала она, глядя в дверь, и всхлипнула. В двери стояла сестра с детьми. -- Да, вот что ты сделал.

Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидел в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня, -- вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать: "Прости!" -но не смел.

Она молчала, закрыв глаза, очевидно не в силах говорить дальше. Потом изуродованное лицо ее задрожало и сморщилось. Она слабо оттолкнула меня.

-- Зачем все это было? Зачем?

-- Прости меня, -- сказал я.

-- Прости? Все это вздор!.. Только бы не умереть!..- вскрикнула она, приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня. -- Да, ты добился своего!.. Ненавижу!.. Ай! Ах! -- очевидно, в бреду, пугаясь чего-то, закричала она. -- Ну, убивай, убивай, я не боюсь... Только всех, всех, и его. Ушел, ушел!

Бред продолжался все время. Она не узнавала никого. В тот же день, к полдню, она померла. Меня прежде этого, в восемь часов, отвели в часть и оттуда в тюрьму. И там, просидев одиннадцать месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее и понял его. Начал понимать я на третий день. На третий день меня водили туда...

Он что-то хотел сказать и, не в силах будучи удержать рыдания, остановился. Собравшись с силами, он продолжал:

-- Я начал понимать только тогда, когда увидел ее в гробу... -- Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал: -- Только тогда, когда я увидел ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять... У! у! у!.. -- вскрикнул он несколько раз и затих.

Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча передо мной.

-- Ну, простите...

Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, -- это было в восемь часов утра, -- я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой. Он открылся, и видно было, что он не спал.

-- Прощайте, -- сказал я, подавая ему руку. Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать.

-- Да, простите, -- повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.

Дьявол

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну

(Матфея V, 28, 29, 30).

I

Евгения Иртенев ожидала блестящая карьера. Все у него было для этого. Прекрасное домашнее воспитание, блестящее окончание курса на юридическом факультете Петербургского университета, связи по недавно умершему отцу с самым высшим обществом и даже начало службы в министерстве под покровительством министра. Было и состояние, даже большое состояние, но сомнительное. Отец жил за границей и в Петербурге, давая по шести тысяч сыновьям -- Евгению и старшему, Андрею, служившему в кавалергардах, и сам проживал с матерью очень много. Только летом он приезжал на два месяца в имение, но не занимался хозяйством, предоставляя все заевшемуся управляющему, тоже не занимавшемуся имением, но к которому он имел полное доверие.

После смерти отца, когда братья стали делиться, оказалось, что долгов было так много, что поверенный по делам советовал даже, оставив за собой имение бабки, которое ценили в сто тысяч, отказаться от наследства. Но сосед по имению, помещик, имевший дела с стариком Иртневым, то есть имевший вексель на него и приезжавший для этого в Петербург, говорил, что, несмотря на долги, дела можно поправить и удержать еще большое состояние. Стоило только продать лес, отдельные куски пустоши и удержать главное золотое дно -- Семеновское с четырьмя тысячами десятин чернозема, сахарным заводом и двумястами десятин заливных лугов, если посвятить себя этому делу и, поселившись в деревне, умно и расчетливо хозяйничать.

И вот Евгений, съездив весною (отец умер постом) в имения и осмотрев все, решил выйти в отставку, поселиться с матерью в деревне и заняться хозяйством с тем, чтобы удержать главное имение. С братом, с которым не был особенно дружен, он сделался так: обязался ему платить ежегодно четыре тысячи или единовременно восемьдесят тысяч, за которые брат отказывался от своей доли наследства.

Так он и сделал и, поселившись с матерью в большом доме, горячо и осторожно вместе с тем взялся за хозяйство.

Обыкновенно думают, что самые обычные консерваторы -- это старики, а новаторы -- это молодые люди. Это не совсем справедливо. Самые обычные консерваторы -- это молодые люди. Молодые люди, которым хочется жить, но которые не думают и не имеют времени подумать о том, как надо жить, и которые поэтому избирают себе за образец ту жизнь, которая была.

Так было и с Евгением. Поселившись теперь в деревне, его мечта и идеал были в том, чтобы воскресить ту форму жизни, которая была не при отце -- отец был дурной хозяин, но при деде. И теперь и в доме, и в саду, и в хозяйстве он, разумеется, с изменениями, свойственными времени, старался воскресить общий дух жизни деда -- все на широкую ногу, довольство всех вокруг и порядок и благоустройство, а для того чтоб устроить эту жизнь, дела было очень много: нужно было и удовлетворять требованиям кредиторов и банков и для того продавать земли и отсрочивать платежи, нужно было и добывать деньги, для того чтобы продолжать вести; где наймом, где работниками, огромное хозяйство в Семеновском с четырьмя тысячами десятин запашки и сахарным заводом; нужно было и в доме и в саду делать так, чтобы не похоже было на запущение и упадок.

Работы было много, но и сил было много у Евгения -- сил и физических и духовных. Ему было двадцать шесть лет, он был среднего роста, сильного сложения с развитыми гимнастикой мускулами, сангвиник с ярким румянцем во всю щеку, с яркими зубами и губами и с негустыми, мягкими и выющимися волосами. Единственный физический изъян его была близорукость, которую он сам развил себе очками, и теперь уже не мог ходить без пенсне, которое уже прокладывало черточки наверху горбинки его носа. Таков он был физически, духовный же облик его был такой, что чем больше кто знал его, тем больше

любил. Мать и всегда любила его больше всех, теперь же, после смерти мужа, сосредоточила на нем не только всю свою нежность, но всю свою жизнь. Но не одна мать так любила его. Товарищи его с гимназии и университета всегда особенно не только любили, но уважали его. На всех посторонних он всегда действовал так же. Нельзя было не верить тому, что он говорил, нельзя было предполагать обман, неправду при таком открытом, честном лице и, главное, глазах.

Вообще вся его личность много помогала ему в его делах. Кредитор, который отказал бы другому, верил ему. Приказчик, староста, мужик, который сделал бы гадость, обманул бы другого, забывал обмануть под приятным впечатлением общения с добрым, простым и, главное, открытым человеком.

Был конец мая. Кое-как Евгений наладил дело в городе об освобождении пустоши от залога, чтобы продать ее купцу, и занял деньги у этого же купца на то, чтобы обновить инвентарь, то есть лошадей, быков, подводы. И, главное, на то, чтобы начать необходимую постройку хутора. Дело наладилось. Возили лес, плотники уже работали, и навоз возили на восьмидесяти подводах, но все до сих пор висело на ниточке.

## II

В середине этих забот случилось обстоятельство хотя и не важное, но в то время помучавшее Евгения. Он жил свою молодость, как живут все молодые, здоровые, неженатые люди, то есть имел сношения с разного рода женщинами. Он был не развратник, но и не был, как он сам себе говорил, монахом. А предавался этому только настолько, насколько это было необходимо для физического здоровья и умственной свободы, как он говорил. Началось это с шестнадцати лет. И до сих пор шло благополучно. Благополучно в том смысле, что он не предался разврату, не увлекся ни разу и не был ни разу болен. Была у него в Петербурге сначала швея, потом она испортилась, и он устроился иначе. И эта сторона была так обеспечена, что не смущала его.

Но вот в деревне он жил второй месяц и решительно не знал, как ему быть. Невольное воздержание начинало действовать на него дурно. Неужели ехать в город из-за этого? И куда? Как? Это одно тревожило Евгения Ивановича, а так как он был уверен, что это необходимо и что ему нужно, ему действительно становилось нужно, и он чувствовал, что он не свободен и что он против воли провожает каждую молодую женщину глазами.

Он считал нехорошим у себя в своей деревне сойтись с женщиной или девкой. Он знал по рассказам, что и отец его и дед в этом отношении совершенно отделились от других помещиков того времени и дома не заводили у себя никогда никаких шашен с крепостными, и решил, что этого он не сделает; но потом, все более и более чувствуя себя связанным и с ужасом представляя себе то, что с ним может быть в городишке, и сообразив, что теперь не крепостные, он решил, что можно и здесь. Только бы сделать это так, чтобы никто не знал, и не для разврата, а только для здоровья, так говорил он себе. И когда он решил это, ему стало еще беспокойнее; говоря с старостой, с мужиками, с столяром, он невольно наводил разговор на женщин, и, если разговор заходил о женщинах, то задерживал на этом. На женщин же он приглядывался больше и больше.

## III

Но решить дело самому с собой было одно, привести же его в исполнение было другое. Самому подойти к женщине невозможно. К какой? где? Надо через кого-нибудь, но к кому обратиться?

Случилось ему раз зайти напиться в лесную караулку. Сторожем был бывший охотник отца. Евгений Иванович разговорился с ним, и сторож стал рассказывать старинные истории про кутежи на охоте. И Евгению Ивановичу пришло в голову, что хорошо бы было здесь, в караулке или в лесу, устроить это. Он только не знал как, и возьмется ли за

это старый Данила. "Может быть, он ужаснется от такого предложения, и я осрамлюсь, а может, очень просто согласится". Так он думал, слушая рассказы Данилы. Данила рассказывал, как они стояли в отъезде поле у дьячихи и как Пряничникову он привел бабу.

"Можно",-- подумал Евгений.

-- Ваш батюшка, царство небесное, этими глупостями не занимался.

"Нельзя",-- подумал Евгений, но, чтобы исследовать, сказал:

-- Как же ты такими делами нехорошими занимался?

-- А что же тут худого? И она рада и мой Федор Захарыч довольны-предовольны. Мне рубль. Ведь как же и быть ему-то? Тоже живая кость. Чай вино пьет.

"Да, можно сказать",-- подумал Евгений и тотчас же приступил.

-- А знаешь,-- он почувствовал, как он багрово покраснел,-- знаешь, Данила, я измучался. -- Данила улыбнулся. -- Я все-таки не монах -- привык.

Он чувствовал, что глупо все, что он говорит, но радовался, потому что Данила одобрял.

-- Что ж, вы бы давно сказали, это можно,-- сказал он. -- Вы только скажите какую.

-- Ах, право, мне все равно. Ну, разумеется, чтоб не безобразная была и здоровая.

-- Понял! -- откусил Данила. Он подумал. -- Ох, хороша штучка есть,-- начал он. Опять Евгений покраснел. -- Хороша штучка. Изволите видеть, выдали ее по осени,-- Данила стал шептать,-- а он ничего не может сделать. Ведь это на охотника что стоит.

Евгений сморщился даже от стыда.

-- Нет, нет,-- заговорил он. -- Мне совсем не то нужно. Мне, напротив (что могло быть напротив?), мне, напротив, надо, чтобы только здоровая, да поменьше хлопот -- солдатка или эдак...

-- Знаю. Это, значит, Степаниду вам предоставить. Муж в городе, все равно как солдатка. А бабочка хорошая, чистая. Будете довольны. Я и то ей намесь говорю -- пойди, а она...

-- Ну, так когда же?

-- Да хоть завтра. Я вот пойду за табаком и зайду, а в обед приходите сюда али за огород к бане. Никого нет. Да и в обед весь народ спит.

-- Ну, хорошо.

Страшное волнение охватило Евгения, когда он поехал домой. "Что такое будет? Что такое крестьянка? Что-нибудь вдруг безобразное, ужасное. Нет, они красивы,-- говорил он себе, вспоминая тех, на которых он заглядывался. -- Но что я скажу, что я сделаю?"

Целый день он был не свой. На другой день в двенадцать часов он пошел к караулке. Данила стоял в дверях и молча значительно кивнул головой к лесу. Кровь прилила к сердцу Евгения, он почувствовал его и пошел к огороду. Никого. Подошел к бане. Никого. Заглянул туда, вышел и вдруг услышал треск сломленной ветки. Он оглянулся, она стояла в чаще за овражком. Он бросился туда через овраг. В овраге была крапива, которой он не заметил. Он острекался и, потеряв с носу пенсне, вбежал на противоположный бугор. В белой вышитой занавеске, красно-бурой напеве, красном ярком платке, с босыми ногами, свежая, твердая, красивая, она стояла и робко улыбалась.

-- Тут кругом тропочка, обошли бы,-- сказала она,-- А мы давно. Голомя.

Он подошел к ней и, оглядываясь, коснулся ее.

Через четверть часа они разошлись, он нашел пенсне и зашел к Даниле и в ответ на вопрос его: "Довольны ль, барии?" -- дал ему рубль и пошел домой.

Он был доволен. Стыд был только сначала. Но потом прошел. И все было хорошо. Главное, хорошо, что ему теперь легко, спокойно, бодро. Ее он хорошенько даже не рассмотрел. Помнил, что чистая, свежая, недурная и простая, без гримас. "Чья бишь она? -- говорил он себе. -- Печникова он сказал? Какая же это Печникова? [В дальнейшем вместо фамилии Печников фамилия Пчельников] Ведь их два двора. Должно быть, Михайлы-старика сноха. Да, верно его. У него ведь сын живет в Москве, спрошу у Данилы когда-нибудь".

С этих пор устранилась эта важная прежде неприятность деревенской жизни -- невольное воздержание. Свобода мысли Евгения уже не нарушалась, и он мог свободно заниматься своими делами.

А дело, которое взял на себя Евгений, было очень нелегкое: иногда ему казалось, что он не выдержит и кончится тем, что все-таки придется продать имение, все труды его пропадут, и, главное, что окажется, что не выдержал, не сумел доделать того, за что взялся. Это больше всего тревожило его. Не успевал он заткнуть кое-как одной дыры, как раскрывалась новая, неожиданная. Во все это время все оказывались новые и новые, неизвестные прежде долги отца. Видно было, что отец в последнее время брал где попало. Во время раздела в мае Евгений думал, что он знает, наконец, все. Но вдруг в середине лета он получил письмо, из которого оказывалось, что был еще долг вдове Есиповой в двенадцать тысяч. Векселя не было, была простая расписка, которую можно было, по словам поверенного, оспаривать. Но Евгению и в голову не могло прийти отказаться от уплаты действительного долга отца только потому, что можно было оспаривать документ. Ему надо было узнать только наверное, действительный ли это был долг.

-- Мама! что такое Есипова Калерия Владимировна? -- спросил он у матери, когда они, по обыкновению, сошлись за обедом.

-- Есипова? Да это воспитанница дедушки. А что?

Евгений рассказал матери про письмо.

-- Удивляюсь, как ей не совестно. Твой папа ей сколько передавал.

-- Но должны мы ей?

-- То есть как тебе сказать? Долгу нет, папа по своей бесконечной доброте...

-- Да, но папа считал это долгом.

-- Не могу я тебе сказать. Не знаю. Знаю, что тебе и так тяжело.

Евгений видел, что Марья Павловна сама не знала, как сказать, и как бы выпытывала его.

-- Из этого я вижу, что надо платить,-- сказал сын.-- Я завтра поеду к ней и поговорю, нельзя ли отсрочить.

-- Ах, как мне жалко тебя. Но, знаешь, лучше. Ты ей скажи, что она должна подождать,-- говорила Марья Павловна, очевидно успокоенная я гордая решением сына.

Положение Евгения было особенно трудно оттого еще, что мать, жившая с ним, совсем не понимала его положения. Она всю жизнь привыкла жить так широко, что не могла представить себе даже того положения, в котором был сын, то есть того, что нынче-завтра дела могли устроиться так, что у них ничего не останется и сыну придется все продать и жить и содержать мать одной службой, которая в его положении могла ему дать много-много две тысячи рублей. Она не понимала, что спастись от этого положения можно только урезкой расходов во всем, и потому не могла понять, зачем Евгений так стеснялся в мелочах, в расходах на садовников, кучеров, на прислугу и стол даже. Кроме того, как большинство вдов, она питала к памяти покойника чувства благоговения, далеко не похожие на те, которые она имела к нему, пока он был жив, и не допускала мысли о том, что то, что делал или завел покойник, могло быть худо и изменено.

Евгений поддерживал с большим напряжением и сад, и оранжерею с двумя садовниками, и конюшню с двумя кучерами. Марья же Павловна наивно думала, что не жалуясь на стол, который готовил старик повар, и на то, что дорожки в парке не все были чищены, и что вместо лакеев был один мальчик, что она делает все, что может мать, жертвующая собой для своего сына. Так и в этом новом долге, в котором Евгений видел для себя почти что добивающий удар всем его предприятиям, Мария Павловна видела только случай, выказавший благородство Евгения. Марья Павловна не беспокоилась очень о материальном положении Евгения еще и потому, что она была уверена, что он сделает блестящую партию, которая поправит все. Партию же он мог сделать самую блестящую. Она знала десяток семей, которые счастливы были отдать за него дочь. И она желала как можно скорее устроить это.

Евгений сам мечтал о женитьбе, но только не так, как мать: мысль о том, чтобы сделать из женитьбы средство поправления своих дел, была отвратительна ему. Жениться он хотел честно, по любви. Он и приглядывался к девушкам, которых встречал и знал, прикидывал себя к ним, но судьба его не решалась. Между тем, чего он никак не ожидал, сношения его с Степанидой продолжались и получили даже характер чего-то установившегося. Евгений так был далек от распутства, так тяжело было ему делать это тайное -- он чувствовал -- нехорошее дело, что он никак не устраивался и даже после первого свиданья надеялся совсем больше не видеть Степаниды; но оказалось, что через несколько времени на него опять нашло беспокойство, которое приписывал этому. И беспокойство на этот раз уже не было безличное; а ему представлялись именно те самые черные, блестящие глаза, тот же грудной голос, говорящий "голомя", тот же запах чего-то свежего и сильного и та же высокая грудь, поднимающая занавеску, и все это в той же ореховой и кленовой чаше, облитой ярким светом. Как ни совестно было, он опять обратился к Даниле. И опять назначилось свидание в полдень в лесу. В этот раз Евгений больше рассмотрел ее, и все показалось ему в ней привлекательно. Он попробовал поговорить с ней, спросил о муже. Действительно, это был Михайлин сын, он жил в кучерах в Москве.

-- Ну что же, как же ты... -- Евгений хотел спросить, как она изменяет ему.

-- Чего как же? -- спросила она. Она, очевидно, была умна и догадлива.

-- Ну как же вот ты ко мне ходишь?

-- Вона,-- весело проговорила она. -- Он, я чай, там гуляет. Что ж мне-то?

Очевидно, она сама на себя напускала развязность, ухарство. И это показалось мило Евгению. Но все-таки он не назначил ей сам свиданья. Даже когда она предложила, чтобы сходитья помимо Данилы, к которому она как-то недоброжелательно относилась, Евгений не согласился. Он надеялся, что это свидание было последнее. Она ему нравилась. Он думал, что ему необходима такое общение и что дурного в этом нет ничего; но в глубине души у него был судья более строгий, который не одобрял этого и надеялся, что это в последний раз, если же не надеялся, то, по крайней мере, не хотел участвовать в этом деле и приготавливать себе это в другой раз.

Так и шло все лето, в продолжение которого он виделся с ней раз десять и всякий раз через Данилу. Было один раз, что ей нельзя было прийти, потому что приехал муж, и Данила предложил другую. Евгений с отвращением отказался. Потом муж уехал, и свиданья продолжались по-старому, сначала через Данилу, а потом уже прямо он назначал время, и она приходила с бабой Прохоровой, так как одной нельзя ходить бабе. Один раз, в самое назначенное время свиданья, к Марье Павловне приехало семейство с той девушкой, которую она сватала Евгению, и Евгений никак не мог вырваться. Как только он мог уйти, он пошел как будто на гумно и в обход тропинкой в лес на место свиданья. Ее не было. Но на обычном месте все, куда могла достать рука, все было переломано, черемуха, орешень, даже молодой кленок в кол толщиною. Это она ждала, волновалась и сердилась и, играючи, оставляла ему память. Он постоял, постоял и пошел к Даниле просить его вызвать ее на завтра. Она пришла и была такая же, как всегда.

Так прошло лето. Свиданья всегда назначались в лесу и один раз только, уж перед осенью, в гуменном сарае на их задворках. Евгению и в голову не приходило, чтобы эти отношения его имели какое-нибудь для него значение. Об ней же он и не думал. Давал ей деньги, и больше ничего. Он не знал и не думал о том, что по всей деревне уж знали про это и завидовали ей, что ее домашние брали у ней деньги и поощряли ее и что ее представление о грехе, под влиянием денег и участия домашних, совсем уничтожилось. Ей казалось, что если люди завидуют, то то, что она делает, хорошо.

"Просто для здоровья надо же,-- думал Евгений. -- Положим, нехорошо, и, хотя никто не говорит, все или многие знают. Баба, с которой она ходит, знает. А знает, верно, рассказала

и другим. Но что же делать? Скверно я поступаю,-- думал Евгений,-- да что делать, ну да ненадолго".

Главное, что смущало Евгения, то это был муж. Сначала ему почему-то представлялось, что муж ее должен быть плох, и это как бы оправдывало его отчасти. Но он увидел мужа и был поражен. Это был молодчина и щеголь, уж никак не хуже, а наверно лучше его. При первом свидании он сказал ей, что видел мужа и что он полюбовался им, какой он молодчина.

-- Другого такого нет в деревне,-- с гордостью сказала она.

Это удивило Евгения. Мысль о муже с тех пор еще более мучила его. Случилось ему раз быть у Данилы, и Данила, разговорившись, прямо сказал ему:

-- А Михайла наемни спрашивал меня, правда ли, что барин с сына женой живет. Я сказал, не знаю. Да и то, говорю, лучше с барином, чем с мужиком.

-- Ну, что ж он?

-- Да ничего, говорит: погоди ж, дознаюсь, я ей задам.

"Ну да если бы муж вернулся, я бы бросил",-- думал Евгений. Но муж жил в городе, и отношения пока продолжались. "Когда надо будет, оборву, и ничего не останется",-- думал он.

И ему казалось это несомненным, потому что в продолжение лета много разных вещей очень сильно занимали его: и устройство нового хутора, и уборка, и постройка, и, главное, уплата долга и продажа пустоши. Все это были предметы, которые поглощали его всего, о которых он думал, ложась и вставая. Все это была настоящая жизнь. Сношения же -- он даже не называл это связью -- с Степанидой было нечто совсем незаметное. Правда, что, когда приступало желание видеть ее, оно приступало с такой силой, что он ни о чем другом не мог думать, но это продолжалось недолго, устраивалось свиданье, и он опять забывал ее на недели, иногда на месяц.

Осенью Евгений часто ездил в город и там сблизился с семейством Анненских. У Анненских была дочь, только что вышедшая институтка. И тут, к великому огорчению Марьи Павловны, случилось то, что Евгений, как она говорила, продешевил себя, влюбился в Лизу Анненскую и сделал ей предложение.

С тех пор сношения с Степанидой прекратились.

## V

Почему Евгений выбрал Лизу Анненскую, нельзя объяснить, как никогда нельзя объяснить, почему мужчина выбирает ту, а не другую женщину. Причин было пропасть и положительных и отрицательных. Причиной было и то, что она не была очень богатая невеста, каких сватала ему мать, и то, что она была наивна и жалка в отношениях к своей матери, и то, что она не была красавица, обращающая на себя внимание, и не была дурна. Главное же было то, что сближение с ней началось в такой период, когда Евгений был зрел к женитьбе. Он влюбился потому, что знал, что женится.

Лиза Анненская сначала только нравилась Евгению, но когда он решил, что она будет его женою, он почувствовал к ней чувство гораздо более сильное, он почувствовал, что он влюблен.

Лиза была высокая, тонкая, длинная. Длинное было в ней все: и лицо, и нос не вперед, но вдоль по лицу, и пальцы, и ступни. Цвет лица у ней был очень нежный, белый, желтоватый, с нежным румянцем, волосы длинные, русые, мягкие и вьющиеся, и прекрасные, ясные, кроткие, доверчивые глаза. Эти глаза особенно поразили Евгения. И когда он думал о Лизе, он видел всегда перед собой эти ясные, кроткие, доверчивые глаза.

Такова она была физически; духовно же он ничего не знал про нее, а только видел эти глаза. И эти глаза, казалось, говорили ему все, что ему нужно было знать. Смысл же этих глаз был такой.

Еще с института, с пятнадцати лет, Лиза постоянно влюблялась во всех привлекательных мужчин и была оживлена и счастлива только тогда, когда была влюблена. Вышедши из института, она точно так же влюблялась во всех молодых мужчин, которых встречала, и, разумеется, влюбилась в Евгения, как только узнала его. Эта-то ее влюбленность и давала ее глазам то особенное выражение, которое так пленило Евгения.

В эту же зиму в одно и то же время она уже была влюблена в двух молодых людей и краснела и волновалась не только когда они входили в комнату, но когда произносили их имя. Но потом, когда ее мать намекнула ей, что Иртенев, кажется, имеет серьезные виды, влюбленье ее в Иртенева усилилось так, что она стала почти равнодушной к двум прежним, но когда Иртенев стал бывать у них, на бале, собрании, танцевал с ней больше, чем с другими, и, очевидно, желал узнать только, любит ли она его, тогда влюбленье ее в Иртенева сделалось чем-то болезненным, она видела его во сне и наяву в темной комнате, и все другие исчезли для нее. Когда же он сделал предложение и их благословили, когда она поцеловалась с ним и стали жених с невестой, тогда у ней не стало других мыслей, кроме него, других желаний, кроме того, чтобы быть с ним, чтобы любить его и быть им любимой. Она и гордилась им, и умилялась перед ним и перед собой и своей любовью, и вся млела и таяла от любви к нему. Чем больше он узнавал ее, тем больше и он любил ее. Он никак не ожидал встретить такую любовь, и эта любовь усиливала еще его чувство.

## VI

Перед весной он приехал в Семеновское посмотреть и распорядиться по хозяйству, а главное по дому, где шло убранство для женитьбы.

Марья Павловна была недовольна выбором сына, но только потому, что партия эта не была так блестяща, как она могла бы быть, и потому, что Варвара Алексеевна, будущая теща, не нравилась ей. Хорошая ли она была или злая, она не знала и не решила, но то, что она была не порядочная женщина, не *comme il faut*, не леди, как говорила себе Марья Павловна, это она увидела с первого знакомства, и это огорчало ее. Огорчало за то, что она ценила эту порядочность по привычке, знала, что Евгений очень чуток на это, и предвидела для него много огорчений от этого. Девушка же ей нравилась. Нравилась, главное, потому, что она нравилась Евгению. Надо было любить ее. И Марья Павловна готова была на это, и совершенно искренно.

Евгений застал мать радостной, довольной. Она устраивала все в доме и сама собиралась уехать, как только он привезет молодую жену. Евгений уговаривал ее оставаться. И вопрос оставался нерешенным. Вечером, по обыкновению, после чая Марья Павловна делала пасьян. Евгений сидел, помогая ей. Это было время самых задушевных разговоров. Окончив один пасьян и не начиная новый, Марья Павловна взглянула на Евгения и, несколько заминаясь, начала так:

-- А я хотела тебе сказать, Женя. Разумеется, я не знаю, но вообще я хотела посоветовать о том, что перед женитьбой надо непременно покончить все свои холостые дела, так чтобы ничего уже не могло беспокоить и тебя и, помилуй бог, жену. Ты меня понимаешь?

И действительно, Евгений сейчас же понял, что Марья Павловна намекала на его сношения с Степанидой, которые прекратились с самой осени, и, как всегда одинокие женщины, приписывала этим сношениям гораздо большее значение, чем то, которое они имели. Евгений покраснел, и не от стыда столько, сколько от досады, что хорошая Марья Павловна суется -- правда, любя,-- но все-таки суется туда, куда ей не надо и чего она не понимает и не может понимать. Он сказал, что у него ничего нет такого, что бы нужно было скрывать, и что он именно так себя вел всегда, чтобы ничто не могло помешать его женитьбе.

-- Ну и прекрасно, дружок. Ты, Геня, не обижайся на меня,-- сказала Марья Павловна, конфузясь.

Но Евгений видел, что она не кончила и не сказала то, что хотела. Так и вышло. Немного погодя она стала рассказывать о том, как без него ее просили крестить у... Пчельниковых.

Теперь Евгений вспыхнул уже не от досады и даже не от стыда, а от какого-то странного чувства сознания важности того, что ему сейчас скажут, сознания невольного, совершенно несогласного с его рассуждением. Так и вышло то, чего он ожидал. Марья Павловна, как будто не имея никаких других целей, кроме разговора, рассказала, что нынешний год родятся все мальчики, видно, к войне. И у Васиных, и у Пчельникова молодая бабочка первым-тоже мальчик. Марья Павловна хотела рассказать это незаметно, но ей самой сделалось стыдно, когда она увидела краску на лице сына и его нервные снимание, пощелкивание и надевание пенсне и поспешное закуриванье папиросы. Она замолчала. Он тоже молчал и не мог придумать, чем бы перервать это молчание. Так что оба поняли, что поняли друг друга.

-- Да, главное, в деревне надо справедливость, чтоб не было любимцев, как у дяди твоего.

-- Маменька,-- сказал вдруг Евгений,-- я знаю, к чему вы это говорите. Вы напрасно тревожитесь. Для меня моя будущая семейная жизнь такая святыня, которой я ни в каком случае не нарушу. А то, что было в моей холостой жизни, то все кончено совсем. И я никогда не входил ни в какие связи, и никто не имеет на меня никаких прав.

-- Ну, я рада,-- сказала мать. -- Я знаю твои благородные мысли.

Евгений принял эти слова матери как следующую ему дань и замолчал.

На другое утро он поехал в город, думая о невесте, обо всем на свете, но только не о Степаниде. Но как будто нарочно, чтобы напомнить ему, он, подъезжая к церкви, стал встречать народ; шедший и ехавший оттуда. Он встретил Матвея-старика с Семеном, ребят, молодых девок, а вот две бабы, одна постарше и одна нарядная, в ярко-красном платке, и что-то знакомое. Баба идет легко, бодро, и на руке ребенок. Он поравнялся, баба старшая поклонилась по-старинному, остановившись, а молодая с ребенком только нагнула голову, и из-под платка блеснули знакомые улыбающиеся, веселые глаза.

"Да, это она, но все кончено, и нечего смотреть на нее. И ребенок, может быть, мой,-- мелькнуло ему в голове. -- Нет, вздор какой. Муж был, она к нему ходила". Он не стал высчитывать даже. Так у него решено было, что это было нужно для здоровья, он платил деньги, и больше ничего; связи какой-нибудь между им и ею нет, не было, не может и не должно быть. Он не то чтобы заминал голос совести, нет, прямо совесть ничего не говорила ему. И он не вспомнил о ней ни разу после разговора матери и встречи. И ни разу после и не встречал ее.

На Красную горку Евгений обвенчался в городе и тотчас же с молодой женой уехал в деревню. Дом был устроен, как обыкновенно устраивают для молодых. Марья Павловна хотела уехать, но Евгений, а главное -- Лиза упростили ее остаться. Только она перешла во флигель.

И так началась для Евгения новая жизнь.

## VII

Первый год семейной жизни был трудный год для Евгения. Труден он был тем, что дела, которые он откладывал кое-как во время сватовства, теперь, после женитьбы, все вдруг обрушились на него.

Выпутаться из долгов оказалось невозможным. Дача была продана, самые кричащие долги покрыты, но все еще оставались долги, и денег не было. Именье принесло хороший доход, но нужно было послать брату и издержать на свадьбу, так что денег не было, и завод не мог идти, и надо было его остановить. Одно средство выпутаться состояло в том, чтобы употребить деньги жены. Лиза, поняв положение мужа, сама потребовала этого. Евгений согласился, но только с тем, чтобы сделать купчую на половину имения на имя жены. Так он и сделал.

Разумеется, не для жены, которую это оскорбляло, а для тещи.

Эти дела с разными переменами, то успех, то неуспех, было одно, что отравляло жизнь Евгения в этот первый год. Другое было нездоровье жены. В этот же первый год, семь месяцев после женитьбы, осенью, с Лизой случилась беда. Она выехала в шарабане встречать мужа, возвращавшегося из города, смиренная лошадь заиграла, она испугалась, выпрыгнула. Прыжок был относительно счастливый,-- она могла зацепиться за колесо,-- но она была уже беременна, и в ту же ночь у нее начались боли, и она выкинула и долго не могла справиться после выкидыша. Потеря ожидаемого ребенка, болезнь жены, связанное с этим расстройство жизни и, главное, присутствие тещи, приехавшей тотчас же, как заболела Лиза,-- все это сделало для Евгения год этот еще более тяжелым.

Но, несмотря на эти тяжелые обстоятельства, к концу первого года Евгений чувствовал себя очень хорошо. Во-первых, его задушевная мысль восстановить упавшее состояние, возобновить дедовскую жизнь в новых формах, хотя с трудом и медленно, но приводилась в исполнение. Теперь уже речи не могло быть о продаже за долги всего имения. Имение главное, хотя и переписанное на имя жены, было спасено, и если только свекла будет выходна и цены хороши, то к будущему году положение нужды и напряжения может замениться совершенным довольством. Это было одно.

Другое было то, что, как ни много он ожидал от своей жены, он никак не ожидал найти в ней то, что он нашел: это было не то, чего он ожидал, но это было гораздо лучше. Умилений, восторгов влюбленных, хотя он и старался их устраивать, не выходило или выходило очень слабо; но выходило совсем другое, то, что не только веселее, приятнее, но легче стало жить. Он не знал, отчего это происходит, но это было так.

Происходило же это оттого, что ею было решено тотчас же после обручения, что из всех людей в мире есть один Евгений Иртенев выше, умнее, чище, благороднее всех, и потому обязанность всех людей служить и делать приятное этому Иртеневу. Но так как всех нельзя заставить это делать, то надо по мере сил делать это самой.

Так она и делала, и потому все ее силы душевные всегда были направлены на то, чтобы узнать, угадать то, что он любит, и потом делать это самое, что бы это ни было и как бы трудно это ни было.

И в ней было то, что составляет главную прелесть общения с любящей женщиной, в ней было благодаря любви к мужу ясновиденье его души. Она чуяла -- ему казалось, часто лучше его самого -- всякое состояние его души, всякий оттенок его чувства и соответственно этого поступала, стало быть никогда не оскорбляла его чувства, а всегда умеряла тяжелые чувства и усиливала радостные. Но не только чувства, мысли его она понимала. Самые чуждые ей предметы по сельскому хозяйству, по заводу, по оценке людей она сразу понимала и не только могла быть ему собеседником, но часто, как он сам говорил ей, полезным, незаменимым советчиком. На вещи, людей, на все в мире она смотрела только его глазами. Она любила свою мать, но, увидав, что Евгению бывало неприятно вмешательство в их жизнь тещи, она сразу стала на сторону мужа и с такой решительностью, что он должен был укрощать ее.

Сверх всего этого, в ней было пропасть вкуса, такта и, главное, тишины. Все, что она делала, она делала незаметно, заметны были только результаты дела, то есть всегда и во всем чистота, порядок и изящество. Лиза тотчас же поняла, в чем состоял идеал жизни ее мужа, и старалась достигнуть и достигала в устройстве и порядке дома того самого, чего он желал. Недоставало детей, но и на это была надежда. Зимой они съездили в Петербург к акушеру, и он уверил их, что она совсем здорова и может иметь детей.

И это желание сбылось. К концу года она опять забеременела.

Одно, что не то что отравляло, но угрожало их счастью, была ее ревность -- ревность, которую она сдерживала, не показывала, но от которой она часто страдала. Не только Евгений не мог никого любить, потому что не было на свете женщин, достойных его (о том, что была ли она достойна его, или нет, она никогда не спрашивала себя), но и ни одна женщина поэтому не могла сметь любить его.

## VIII

Жили они так: он вставал, как всегда, рано и шел по хозяйству, на завод, где производились работы, иногда в поле. К десяти часам он приходил к кофею. Кофе пили на террасе Марья Павловна, дядюшка, который жил у них, и Лиза. После разговоров, часто очень оживленных, за кофе, расходились до обеда. В два обедали. И после ходили гулять или ездили кататься. Вечером, когда он приходил из конторы, пили поздно чай, и иногда он читал вслух, она работала, или музицировали, или разговаривали, когда бывали гости. Когда он уезжал по делам, он писал и получал от нее письма каждый день. Иногда она сопровождала его, и это бывало особенно весело. В именины его и ее собирались гости, и ему приятно было видеть, как она умела все устроить так, что всем было хорошо. Он видел, да и слышал, что все любят ее, молодой, милой хозяйкой, и еще больше любил ее за это. Все шло прекрасно. Беременность она носила легко, и они оба, хотя и сами робея, начинали загадывать о том, как они будут воспитывать ребенка. Способ воспитания, приемы, все это решал Евгений, и она только желала покорно исполнить его волю. Евгений же начитался медицинских книг и имел намерение воспитывать ребенка по всем правилам науки. Она, разумеется, соглашалась на все и готовилась, сшивала конверты теплые и холодные и устраивала качку. Так наступил второй год их женитьбы и вторая весна.

## IX

Это было под Троицын день. Лиза была на пятом месяце и, хотя и береглась, была весела и подвижна. Обе матери, ее и его, жили в доме под предлогом карауления и оберегания ее и только тревожили ее своими пикировками. Евгений занимался особенно горячо хозяйством, новой обработкой в больших размерах свеклы.

Под Троицын день Лиза решила, что надо сделать хорошую очистку дома, которой не делали со святой, и позвала в помощь прислуге двух поденных баб, чтоб вымыть полы, окна, и выбить мебель и ковры, и надеть чехлы. С раннего утра пришли бабы, поставили чугуны воды и принялись за работу. Одна из двух баб была Степанида, которая только что отняла своего мальчика и напросилась через конторщика, к которому она бегала теперь, в поломойки. Ей хотелось хорошенько рассмотреть новую барыню. Степанида жила по-старому одна, без мужа, и шалила, как она шалила прежде с стариком Данилой, поймавшим ее с дровами, потом с барином, теперь с молодым малым -- конторщиком. Об барине она вовсе и не думала. "У него теперь жена есть,-- думала она. -- А лестно посмотреть барыню, ее заведение, хорошо, говорят, убрано".

Евгений, с тех пор как встретил ее с ребенком, не видал ее. На поденную она не ходила, так как была с ребенком, а он редко проходил по деревне. В это утро, накануне Троицына дня, Евгений рано, в пятом часу, встал и уехал на паровое поле, где должны были рассыпать фосфориты, и вышел из дома, пока еще бабы не входили в него, а возились у печи с котлами.

Веселый, довольный и голодный, Евгений возвращался к завтраку. Он слез с лошади у калитки и, отдав ее проходившему садовнику, постегивая хлыстом высокую траву, повторяя, как это часто бывает, произнесенную фразу, шел к дому. Фраза, которую он повторял, была: "Фосфориты оправдают",-- что, перед кем -- он не знал и не думал.

На лужку колотили ковер. Мебель была вынесена.

"Матушки! какую Лиза затеяла перестройку. Фосфориты оправдают. Вот так хозяйка. Хозяюшка! Да, хозяйюшка,-- сказал он сам себе, живо представив себе ее в белом капоте, с сияющим от радости лицом, какое у нее почти всегда было, когда он смотрел на нее. -- Да, надо переменить сапоги, а то фосфориты оправдают, то есть пахнет навозом, а хозяйюшка-то-с в таком положении. Отчего в таком положении? Да, растет там в ней маленький

Иртнев новый,-- подумал он. -- Да, фосфориты оправдают". И, улыбаясь своим мыслям, ткнул рукой дверь в свою комнату.

Но не успел он надавить на дверь, как она сама отворилась, и нос с носом он столкнулся с шедшей ему навстречу с ведром, подоткнутой, босоногой и с высоко засученными рукавами бабой. Он посторонился, чтобы пропустить бабу, она тоже посторонилась, поправляя верхом мокрой руки сбившийся платок.

-- Иди, иди, я не пойду, коли вы... -- начал было Евгений и вдруг, узнав ее, остановился.

Она, улыбаясь глазами, весело взглянула на него. И, обдернув паневу, вышла из двери.

"Что за вздор?.. Что такое?.. Не может быть",-- хмурясь и отряхиваясь, как от мухи, говорил себе Евгений, недовольный тем, что он заметил ее. Он был недоволен тем, что заметил ее, а вместе с тем не мог оторвать от ее покачивающегося ловкой, сильной походкой босых ног тела, от ее рук, плеч, красивых складок рубахи и красной паневы, высоко подоткнутой над ее белыми икрами.

"Да что же я смотрю,-- сказал он себе, опуская глаза, чтоб не видеть ее. -- Да, надо взойти все-таки, взять сапоги другие". И он повернулся назад к себе в комнату; но не успел пройти пяти шагов, как, сам не зная как и по чьему приказу, опять оглянулся, чтобы еще раз увидеть ее. Она заходила за угол и в то же мгновение тоже оглянулась на него.

"Ах, что я делаю,-- вскрикнул он в душе. -- Она может подумать. Даже наверно она уже подумала".

Он вошел в свою мокрую комнату. Другая баба, старая, худая, была там и мыла еще. Евгений прошел на цыпочках через грязные лужи к стенке, где стояли сапоги, и хотел выходить, когда баба тоже вышла.

"Эта вышла, и придет та, Степанида -- одна",-- вдруг начал в нем рассуждать кто-то.

"Боже мой! Что я думаю, что я делаю!" Он схватил сапоги и побежал с ними в переднюю, там надел их, обчистился и вышел на террасу, где уж сидели обе мамы за кофе. Лиза, очевидно, ждала его и вошла на террасу из другой двери вместе с ним.

"Боже мой, если бы она, считающая меня таким честным, чистым, невинным, если бы она знала!" -- подумал он.

Лиза, как всегда, с сияющим лицом встретила его. Но нынче она что-то особенно показалась ему бледной, желтой и длинной, слабой.

Х

За кофеем, как и часто случалось, шел тот особенный дамский разговор, в котором логической связи не было никакой, но который, очевидно, чем-то связывался, потому что шел беспрерывно.

Обе дамы пикировались, и Лиза искусно лавировала между ними.

-- Мне так досадно, что не успели вымыть твою комнату до твоего приезда,-- сказала она мужу. -- А так хочется все перебрать.

-- Ну как ты, спала после меня?

-- Да, я спала, мне хорошо.

-- Как может быть хорошо женщине в ее положении в эту невыносимую жару, когда окна на солнце,-- сказала Варвара Алексеевна, ее мать. -- И без жалюзи или маркиз. У меня всегда маркизы.

-- Да ведь здесь тень с десяти часов,-- сказала Марья Павловна.

-- От этого и лихорадка. От сырости,-- сказала Варвара Алексеевна, не замечая того, что она говорит прямо противное тому, что говорила сейчас. -- Мой доктор говорил всегда, что нельзя никогда определить болезнь, не зная характера больной. А уж он знает, потому что это первый доктор, и мы платим ему сто рублей. Покойный муж не признавал докторов, но для меня никогда он ничего не жалел.

-- Как же может мужчина жалеть для женщины, когда жизнь ее и ребенка зависит, может быть...

-- Да, когда есть средства, то жена может не зависеть от мужа. Хорошая жена покоряется мужу,-- сказала Варвара Алексеевна,-- но только Лиза слишком еще слаба после своей болезни.

-- Да нет, мама, я себя прекрасно чувствую. Что ж кипяченых сливок вам не подали?

-- Мне не надо. Я могу и с сырыми.

-- Я спрашивала у Варвары Алексеевны. Она отказалась,-- сказала Марья Павловна, как будто оправдываясь.

-- Да нет, я не хочу нынче. -- И, как будто чтоб прекратить неприятный разговор и великодушно уступая, Варвара Алексеевна обратилась к Евгению: -- Ну что, рассыпали фосфориты?

Лиза побежала за сливками.

-- Да я не хочу, не хочу.

-- Лиза! Лиза! тише,-- сказала Марья Павловна. -- Ей вредны эти быстрые движения.

-- Ничего не вредно, если есть спокойствие душевное,-- сказала, как будто на что-то намекая, Варвара Алексеевна, хотя и сама знала, что слова ее не могли ни на что намекать.

Лиза вернулась со сливками. Евгений пил свой кофе и угрюмо слушал. Он привык к этим разговорам, но нынче его особенно раздражала бессмысленность его. Ему хотелось обдумать то, что случилось с ним, а этот лепет мешал ему. Напившись кофе, Варвара Алексеевна так и ушла не в духе. Остались одни Лиза, Евгений и Марья Павловна. И разговор шел простой и приятный. Но чуткая любовью Лиза тотчас же заметила, что что-то мучает Евгения, и спросила его, не было ли чего неприятного. Он не приготовился к этому вопросу и немного замялся, отвечая, что ничего. И этот ответ еще больше заставил задуматься Лизу. Что что-то мучало и очень мучало его, ей было так же очевидно, как то, что муха попала в молоко, но он не говорил, что же это такое было.

## XI

После завтрака все разошлись. Евгений, по заведенному порядку, пошел к себе в кабинет. Он не стал ни читать, ни писать письма, а сел и стал курить одну папиросу за другою, думая. Его страшно удивило и огорчило это неожиданно проявившееся в нем скверное чувство, от которого он считал себя свободным, с тех пор как женился. Он ни разу с тех пор не испытывал этого чувства ни к ней, к той женщине, которую он знал, ни к какой бы то ни было женщине, кроме как к своей жене. Он в душе много раз радовался этому своему освобождению, и вот вдруг эта случайность, такая, казалось бы, ничтожная, открыла ему то, что он не свободен. Его мучало теперь не то, что он опять подчинился этому чувству, что он желает ее,-- этого он и думать не хотел,-- а то, что чувство это живо в нем и что надо стоять настороже против него. В том, что он подавит это чувство, в душе его не было и сомнения.

У него было одно неотвеченное письмо и бумага, которую надо было составить. Он сел за письменный стол и взялся за работу. Окончив ее и совсем забыв то, что его встревожило, он вышел, чтобы пройти на конюшню. И опять как на беду, по несчастной ли случайности, или нарочно, только он вышел на крыльцо, из-за угла вышла красная панева и красный платок и, махая руками и перекачиваясь, прошла мимо него. Мало того, что прошла, она пробежала, миновав его, как бы играючи, и догнала товарку.

Опять яркий полдень, крапива, зады Даниловой караулки и в тени кленов ее улыбающееся лицо, кусающее листья, восстали в его воображении.

"Нет, это невозможно так оставить",-- сказал он себе и, подождав того, чтобы бабы скрылись из виду, пошел в контору. Был самый обед, и он надеялся застать еще приказчика. Так и случилось. Приказчик только что проснулся. Он стоял в конторе, потягиваясь, зевал, глядя на скотника, что-то ему говорившего.

-- Василий Николаевич!

-- Что прикажете?

-- Мне поговорить с вами.  
-- Что прикажете?  
-- Да вот кончите.  
-- Разве не принесешь? -- сказал Василий Николаевич скотнику.  
-- Тяжело, Василий Николаевич.  
-- Что это? -- спросил Евгений.  
-- Да отелилась в поле корова. Ну ладно, я сейчас велю запрячь лошадь. Вели Николаю Лысуху запрячь, хоть в дроги.  
Скотник ушел.  
-- Вот видите ли,-- краснея и чувствуя это, начал Евгений. -- Вот видите ли, Василий Николаевич. Тут, пока я был холостой, были у меня грехи... Вы, может быть, слышали...  
Василий Николаевич улыбался глазами и, очевидно жалея барина, сказал:  
-- Это насчет Степашки?  
-- Ну да. Так вот что. Пожалуйста, пожалуйста, не берите вы ее на поденную в дом... Вы понимаете, неприятно очень мне...  
-- Да это, видно, Ваня-конторщик распорядился.  
-- Так пожалуйста... Ну так как же, рассыпят остальное? -- сказал Евгений, чтобы скрыть свой конфуз.  
-- Да вот поеду сейчас.  
Так и кончилось это. И Евгений успокоился, надеясь, что как он прожил год, не выдав ее, так будет и теперь.  
"Кроме того, Василий скажет Ивану-конторщику, Иван скажет ей, и она поймет, что я не хочу этого",-- говорил себе Евгений и радовался тому, что он взял на себя и сказал Василью, как ни трудно это было ему. "Да все лучше, все лучше, чем это сомнение, этот стыд". Он содрогался при одном воспоминании об этом преступлении мыслью.

## ХII

Нравственное усилие, которое он сделал, чтобы, преодолев стыд, сказать Василью Николаевичу, успокоило Евгения. Ему казалось, что теперь все кончено. И Лиза тотчас же заметила, что он совсем спокоен и даже радостнее обыкновенного. "Верно, его огорчала эта пикировка между мамашами. В самом деле, тяжело, в особенности ему с его чувствительностью и благородством, слышать всегда эти недружелюбные и дурного тона намеки на что-то",-- думала Лиза.

Следующий день был Троицын. Погода была прекрасная, и бабы, по обыкновению, проходя в лес завивать венки, подошли к барскому дому и стали петь и плясать. Марья Павловна и Варвара Алексеевна вышли в нарядных платьях с зонтиками на крыльцо и подошли к хороводу. С ними же вместе вышел в китайском сюртучке обрюзгший блудник и пьяница дядюшка, живший это лето у Евгения.

Как всегда, был один пестрый, яркий цветами кружок молодых баб и девок центром всего, а вокруг него с разных сторон, как оторвавшиеся и вращающиеся за нам планеты и спутники, то девчата, держась рука с рукой, шурша новым ситцем расстегаев, то малые ребята, фыркающие чему-то и бегающие взад и вперед друг за другом, то ребята взрослые, в синих и черных поддевах и картузах и красных рубахах, с неперестающим плеваньем шелухи семечек, то дворовые или посторонние, издалека поглядывающие на хоровод. Обе барыни подошли к самому кругу и вслед за ними Лиза, в голубом платье и таких же лентах на голове, с широкими рукавами, из которых виднелись ее длинные белые руки с угловатыми локтями.

Евгению не хотелось выходить, но смешно было скрываться. Он вышел тоже с папиросой на крыльцо, раскланялся с ребятами и мужиками и заговорил с одним из них. Бабы между тем орали во всю мочь плясовую и подщелкивали и подхлопывали в ладони и плясали.

-- Барыня зовут,-- сказал малый, подходя к не слыхавшему зова жены Евгению. Лиза звала его посмотреть на пляску, на одну из плясавших баб, которая ей особенно нравилась. Это была Степаша. Она была в желтом расстегеае, и в плисовой безрукавке, и в шелковом платке, широкая, энергичная, румяная, веселая. Должно быть, она хорошо плясала. Он ничего не видал.

-- Да, да,-- сказал он, снимая и надевая пенсне. -- Да, да,-- говорил он. "Стало быть, нельзя мне избавиться от нее",-- думал он.

Он не смотрел на нее, потому что боялся ее привлекательности, и именно от этого то, что он мельком видел в ней, казалось ему особенно привлекательным. Кроме того, он видел по блеснувшему ее взгляду, что она видит его и видит то, что он любит ее. Он постоял, сколько нужно было для приличия, и, увидав, что Варвара Алексеевна подозвала ее и что-то нескладно, фальшиво, называя ее милочкой, говорила с ней, повернулся и отошел. Он отошел и вернулся в дом. Он ушел, чтобы не видеть ее, но, войдя на верхний этаж, он, сам не зная как и зачем, подошел к окну и все время, пока бабы были у крыльца, стоял у окна и смотрел, смотрел на нее, упивался ею.

Он сбежал, пока никто не мог его видеть, и пошел тихим шагом на балкон и, на балконе закулив папиросу, как будто гуляя, пошел в сад по тому направлению, по которому она пошла. Он не сделал двух шагов по аллее, как за деревьями мелькнула плисовая безрукавка на розовом расстегеае и красный платок. Она шла куда-то с другой бабой. "Куда-то они шли?"

И вдруг страстная похоть обожгла его, как рукой схватила за сердце. Евгений, как будто по чьей-то чуждой ему воле, оглянулся и пошел к ней.

-- Евгений Иваныч, Евгений Иваныч! Я к вашей милости,-- заговорил сзади голос, и Евгений, увидав старика Самохина, который рыл у него колодец, очнулся и, быстро повернувшись, пошел к Самохину. Разговаривая с ним, он повернулся боком и увидал, что они с бабой прошли вниз, очевидно к колодцу или под предлогом колодца, и потом, побыв там недолго, побежали к хороводу.

### XIII

Поговорив с Самохиным, Евгений вернулся в дом убитый, точно совершивший преступление. Во-первых, она поняла его, она думала, что он хочет видеть ее, и она желает этого. Во-вторых, эта другая баба -- эта Анна Прохорова,-- очевидно, знает про это.

Главное же то, что он чувствовал, что он побежден, что у него нет своей воли, есть другая сила, двигающая им; что нынче он спасся только по счастью, но не нынче, так завтра, так послезавтра он все-таки погибнет.

"Да, погибнет,-- он иначе не понимал этого,-- изменить своей молодой, любящей жене в деревне с бабой, на виду всех, разве это не была гибель, страшная гибель, после которой нельзя было жить больше? Нет, надо, надо принять меры".

"Боже мой, боже мой! Что же мне делать? Неужели я так и погибну? -- говорил он себе. -- Разве нельзя принять мер? Да надо же что-нибудь сделать. Не думать об ней,-- приказывал он себе. -- Не думать!" -- и тотчас же он начинал думать, и видел ее перед собой, и видел кленовую тень.

Он вспомнил, что читал про старца, который от соблазна перед женщиной, на которую должен был наложить руку, чтоб лечить ее, положил другую руку на жаровню и сжег пальцы. Он вспомнил это. "Да, я готов сжечь пальцы лучше, чем погибнуть". И он, оглянувшись, что никого нет в комнате, зажег спичку и положил палец в огонь. "Ну, думай о ней теперь",-- иронически обратился он к себе. Ему стало больно, он отдернул закопченный палец, бросил спичку и сам засмеялся над собой. "Какой вздор. Не это надо делать. А надо принять меры, чтобы не видеть ее,-- уехать самому или ее удалить. Да, удалить! Предложить ее мужу денег, чтоб он уехал в город или в другое село. Узнают, будут говорить про это. Ну что же, все лучше, чем эта опасность. Да, надо сделать это",--

говорил он себе и все, не спуская глаз, смотрел на нее. "Куда это она пошла?" -- вдруг спросил он себя. Она, как ему показалось, видела его у окна и теперь, взглянув на него, взялась рука с рукой с какой-то бабой, пошла к саду, бойко размахивая рукой. Сам не зная зачем, почему, все ради своих мыслей, он пошел в контору.

Василий Николаевич, в нарядном сертуке, напомаженный, сидел за чаем с женой и гостьей в ковровом платке.

-- Как бы мне, Василий Николаевич, поговорить.

-- Можно. Пожалуйста. Мы отпили.

-- Нет, пойдемте со мной лучше.

-- Сейчас, только дай картуз возьму. Ты, Таня, самовар-то прикрой,-- сказал Василий Николаевич, весело выходя.

Евгению показалось, что он был выпивши, но что же делать; может, это к лучшему, он участливее взойдет в его положение.

-- Я, Василий Николаевич, опять о том же,-- сказал Евгений,-- об этой женщине.

-- Так что же. Я приказал, чтоб отнюдь не брать.

-- Да нет, я вообще вот что думаю и вот о чем хотел с вами посоветоваться. Нельзя ли их удалить, все семейство удалить?

-- Куда ж их удалишь? -- недовольно и насмешливо, как показалось Евгению, сказал Василий.

-- Да я так думал, что дать им денег или даже земли в Колтовском, только бы не было ее тут.

-- Да как же удалишь? Куда он пойдет с своего корня? Да и на что вам? Что она вам мешает?

-- Ах, Василий Николаевич, вы поймите, что жене это ужасно будет узнать.

-- Да кто же ей скажет?

-- Да как же жить под этим страхом? Да и вообще это тяжело.

-- И чего вы беспокоитесь, право? Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто богу не грешен, царю не виноват?

-- Все-таки лучше бы удалить. Вы не можете поговорить с мужем?

-- Да нечего говорить. Эх, Евгений Иванович, что вы это? И все прошло и забылось. Чего не бывает? А кто же теперь про вас скажет худое? Ведь вы в виду.

-- Но вы все-таки скажите.

-- Хорошо, я поговорю.

Хотя он и знал вперед, что из этого ничего не выйдет, разговор этот несколько успокоил Евгения. Он, главное, почувствовал, что он от волнения преувеличил опасность.

Разве он шел на свидание с ней? Оно и невозможно. Он просто шел пройтись по саду, а она случайно выбежала туда.

#### XIV

В этот же самый Троицын день, после обеда, Лиза, гуляя по саду и выходя из него на луг, куда повел ее муж, чтобы показать клевер, переходя маленькую канавку, оступилась и упала. Она упала мягко на бок, но охнула, и в лице ее муж увидал не только испуг, но боль. Он хотел поднять ее, но она отвела его руку.

-- Нет, погоди немного, Евгений,-- сказала она, слабо улыбаясь и снизу как-то, как ему показалось, с виноватым видом глядя на него. -- Просто нога подвернулась.

-- Вот я всегда говорю,-- заговорила Варвара Алексеевна. -- Разве можно в таком положении прыгать через канавы?

-- Да нет же, мама, ничего. Я сейчас встану.

Она встала с помощью мужа, но в ту же минуту она побледнела, и на лице ее выразился испуг.

-- Да, мне нехорошо,-- и она шепнула что-то матери.

-- Ах, боже мой, что наделали! Я говорила не ходить,-- кричала Варвара Алексеевна. -- Погодите, я пришлю людей. Ей не надо ходить. Ее надо снести.

-- Ты не боишься, Лиза? Я, снесу тебя,-- сказал Евгений, обхватив ее левой рукой. -- Обойми мне шею. Вот так.

И он, нагнувшись, подхватил ее под ноги правой рукой и поднял. Никогда он не мог забыть после это страдальческое и вместе блаженное выражение, которое было на ее лице.

-- Тебе тяжело, милый,-- говорила она, улыбаясь. -- Мама-то бежит, скажи ей!

И она пригнулась к нему и поцеловала. Ей, очевидно, хотелось, чтобы и мама видела, как он несет ее.

Евгений крикнул Варваре Алексеевне, чтоб она не торопилась, что он донесет. Варвара Алексеевна остановилась и начала кричать еще пуще.

-- Ты уронишь ее, непременно уронишь. Хочешь погубить ее. Нет в тебе совести.

-- Да я прекрасно несу.

-- Не хочу я, не могу я видеть, как ты моришь мою дочь. -- И она забежала за угол аллеи.

-- Ничего, это пройдет,-- говорила Лиза, улыбаясь.

-- Да только бы не было последствий, как тот раз.

-- Нет, я не об этом. Это ничего, а я о мама. Ты устал, отдохни.

Но хотя ему и тяжело было, Евгений с гордой радостью донес свою ношу до дому и не передал ее горничной и повару, которых нашла и выслала им навстречу Варвара Алексеевна. Он донес ее до спальни и положил на постель.

-- Ну, ты поди,-- сказала она и, притянув к себе его руку, поцеловала ее. -- Мы с Аннушкой справимся.

Марья Павловна прибежала тоже из флигеля. Лизу раздели и уложили в постель. Евгений сидел в гостиной с книгой в руке, дожидаясь. Варвара Алексеевна прошла мимо него с таким укоризненным, мрачным видом, что ему сделалось страшно.

-- Ну что? -- спросил он.

-- Что? Что же спрашивать? То самое, чего вы хотели, вероятно, заставляя жену прыгать через рвы.

-- Варвара Алексеевна!-- вскрикнул он. -- Это невыносимо. Если вы хотите мучать людей и отравлять им жизнь,-- он хотел сказать: то поезжайте куда-нибудь в другое место, но удержался. -- Как вам не больно это?

-- Теперь поздно.

И она, победоносно встряхнув чепцом, прошла в дверь.

Падение действительно было дурное. Нога подвернулась неловко, и была опасность того, что опять будет выкидыш. Все знали, что делать ничего нельзя, что надо только лежать спокойно, но все-таки решили послать за доктором.

"Многоуважаемый Николай Семенович,-- написал Евгений врачу,-- вы так всегда добры были к нам, что, надеюсь, не откажете приехать помочь жене. Она в..." и т. д. Написав письмо, он пошел в конюшню распорядиться лошадьми и экипажем. Надо было приготовить одних лошадей, чтобы привезти, других -- увезти. Где хозяйство не на большую ногу, все это не сразу можно устроить, а надо обдумать. Наладив все сам и отправив кучера, он вернулся домой в десятом часу. Жена лежала и говорила, что ей прекрасно и ничего не болит; но Варвара Алексеевна сидела за лампой, заслоненной от Лизы нотами, и вязала большое красное одеяло с таким видом, который ясно говорил, что после того, что было, миру быть не может. "А что бы кто ни делал, я, по крайней мере, исполнила свою обязанность".

Евгений видел это, но чтобы сделать вид, что он не замечает, старался иметь веселый и беспечный вид, рассказывал, как он собрал лошадей и как кобыла Кавушка отлично пошла на левой пристяжке.

-- Да, разумеется, самое время выезжать лошадей, когда нужна помощь. Вероятно, и доктора также свалят в канаву,-- сказала Варвара Алексеевна, из-под пенсне взглядывая на вязанье, подводя его под самую лампу.

-- Да ведь надо же было кого-нибудь послать. А я сделал как лучше.

-- Да я очень хорошо помню, как меня мчали ваши лошади под поезд.

Это была ее давнишняя выдумка, и теперь Евгений имел неосторожность сказать, что это не совсем так было.

-- Недаром я всегда говорю, и князю сколько раз говорила, что тяжелее всего жить с людьми неправдивыми, неискренними; я все перенесу, но только не это.

-- Ведь если кому больнее всех, то уж, верно, мне,-- сказал Евгений.

-- Да это и видно.

-- Что?

-- Ничего, я петли считаю.

Евгений стоял в это время у постели, и Лиза смотрела на него и одной из влажных рук, лежавших сверх одеяла, поймала его руку и пожала. "Переноси ее для меня. Ведь она не помешает нам любить друг друга",-- говорил ее взгляд.

-- Не буду. Это так,-- прошептал он и поцеловал ее влажную длинную руку и потом милые глаза, которые закрывались, пока он целовал их.

-- Неужели опять то же? -- сказал он. -- Как ты чувствуешь?

-- Страшно сказать, чтоб не ошибиться, но чувство у меня такое, что он жив и будет жив,-- сказала она, глядя на свой живот.

-- Ах, страшно, страшно и думать.

Несмотря на настояние Лизы, чтоб он ушел, Евгений провел ночь с нею, засыпая только одним глазом и готовый служить ей. Но ночь она провела хорошо и, если бы не было послано за доктором, может быть и встала бы.

К обеду приехал доктор и, разумеется, сказал, что, хотя повторные явления и могут вызывать опасения, но, собственно говоря, положительного указания нет, но так как нет и противопоказания, то можно, с одной стороны, полагать, с другой же стороны, тоже можно полагать. И потому надо лежать, и хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимать и лежать. Кроме того, доктор прочел еще Варваре Алексеевне лекцию о женской анатомии, причем Варвара Алексеевна значительно кивала головой. Получив гонорар, как и обыкновенно в самую заднюю часть ладони, доктор уехал, а больная осталась лежать на неделю.

## XV

Большую часть времени Евгений проводил у постели жены, служил ей, говорил с ней, читал с ней и, что было труднее всего, без ропота переносил нападки Варвары Алексеевны и даже сумел из этих нападков сделать предмет шутки.

Но он не мог сидеть дома. Во-первых, жена посылала его, говоря, что он заболит, если будет сидеть все с нею, а во-вторых, хозяйство все шло так, что на каждом шагу требовало его присутствия. Он не мог сидеть дома, а был в поле, в лесу, в саду, на гумне, и везде не мысль только, а живой образ Степаниды преследовал его так, что он редко только забывал про нее. Но это было бы ничего; он, может быть, сумел бы преодолеть это чувство, но хуже всего было то, что он прежде жил, месяцами не видя ее, теперь же беспрестанно видел и встречал ее. Она, очевидно, поняла, что он хочет возобновить сношения с нею, и старалась попадаться ему. Ни им, ни ею не было сказано ничего, и оттого и он и она не шли прямо на свиданье, а старались только сходитьсь.

Место, где можно было сойтись, это был лес, куда бабы ходили с мешками за травой для коров. И Евгений знал это и потому каждый день проходил мимо этого леса. Каждый день он говорил себе, что он не пойдет, и каждый день кончалось тем, что он направлялся к лесу, и услышав звук голосов, останавливаясь за кустом, с замиранием сердца выглядывал, не она ли это.

Зачем ему нужно было знать, не она ли это? Он не знал. Если бы это была она и одна, он не пошел бы к ней,-- так он думал,-- он убежал бы; но ему нужно было видеть ее. Один раз

он встретил ее: в то время как он входил в лес, она выходила из него с другими двумя бабами и тяжелым мешком, полным травы, на спине. Немного раньше -- и он бы, может быть, столкнулся с нею в лесу. Теперь же ей невозможно было на виду других баб вернуться к нему в лес. Но, несмотря на сознаваемую им эту невозможность, он долго, рискуя обратить этим на себя внимание других баб, стоял за кустом орешника. Разумеется, она не вернулась, но он простоял здесь долго. И боже мой, с какой прелестью рисовало ему ее его воображение. И это было не один раз, а пятый, шестой раз. И что дальше, то сильнее. Никогда она так привлекательна не казалась ему. Да и не то что привлекательна; никогда она так вполне не владела им.

Он чувствовал, что теряет волю над собой, становился почти помешанным. Строгость его к себе не ослаблялась ни на волос; напротив, он видел всю мерзость своих желаний, даже поступков, потому что хождение его по лесу был поступок. Он знал, что стоило ему столкнуться с ней где-нибудь близко, в темноте, если бы можно прикоснуться к ней, и он отдастся своему чувству. Он знал, что только стыд перед людьми, перед ней и перед собой держал его. И он знал, что он искал условий, в которых бы не был замечен этот стыд,-- темноты или такого прикосновения, при котором стыд этот заглушится животной страстью. И потому он знал, что он мерзкий преступник, и презирал и ненавидел себя всеми силами души. Он ненавидел себя потому, что все еще не сдавался. Каждый день он молился богу о том, чтобы он подкрепил, спас его от гибели, каждый день он решал, что отныне он не сделает ни одного шага, не оглянется на нее, забудет ее. Каждый день он придумывал средства, чтобы избавиться от этого наваждения, и употреблял эти средства.

Но все было напрасно.

Одно из средств было постоянное занятие; другое было усиленная физическая работа и пост; третье было представление себе ясное того стыда, который обрушится на его голову, когда все узнают это -- жена, теща, люди. Он все это делал, и ему казалось, что он побеждает, но приходило время, полдень, время прежних свиданий и время, когда он ее встретил за травой, и он шел в лес.

Так прошли мучительные пять дней. Он только видал ее издалека, но ни разу не сошелся с нею.

## XVI

Лиза понемногу поправлялась, ходила и беспокоилась той переменной, которая произошла в ее муже и которой она не понимала.

Варвара Алексеевна уехала на время, из чужих гостей только дядюшка. Марья Павловна, как всегда, была дома.

В таком полусумасшедшем состоянии находился Евгений, когда случились, как это часто бывает после июньских гроз, июньские проливные дожди, продолжавшиеся два дня. Дожди отбили от всех работ. Даже навоз бросили возить от сырости и грязи. Народ сидел по домам. Пастухи мучались с скотиной и, наконец, пригнали ее домой. Коровы и овцы ходили по выгону и разбежались по усадьбам. Бабы, босые и покрытые платками, шлепая по грязи, бросились разыскивать разбежавшихся коров. Ручьи текли везде по дорогам, все листья, вся трава были полны водой, из желобов текли, не умолкая, ручьи в пузырящиеся лужи. Евгений сидел дома с женой, которая была особенно скучна нынче. Она несколько раз допрашивала Евгения о причине его недовольства, он с досадой отвечал, что ничего нет. И она перестала спрашивать, но огорчилась.

Они сидели после завтрака в гостиной. Дядюшка рассказывал сотый раз свои выдумки про своих великосветских знакомых. Лиза вязала кофточку и вздыхала, жалуясь на погоду и на боль в пояснице. Дядюшка посоветовал ей лечь, а сам попросил вина. В доме Евгению было ужасно скучно. Все было слабое, скучающее. Он читал книгу и курил, но ничего не понимал.

-- Да, надо пройтись посмотреть терки, вчера привезли,-- сказал он. Он встал и пошел.

-- Ты возьми зонтик.

-- Да нет, у меня кожан. Да и я только до варков.

Он надел сапоги, кожан и пошел к заводу; но не прошел он двадцати шагов, как навстречу ему попалась она в высоко над белыми икрами подоткнутой паневе. Она шла, придерживая руками шаль, которой были закутаны ее голова и плечи.

-- Что ты? -- спросил он, в первую минуту не узнав ее. Когда он узнал, было уже поздно. Она остановилась и, улыбаясь, долго поглядела на него.

-- Теленку ищут. Куда же это вы в ненастье-то? -- сказала она, точно каждый день видала его.

-- Приходи в шалаш,-- вдруг, сам не зная как, сказал он. Точно кто-то другой из него сказал эти слова.

Она закусила платок, кивнула глазами и побежала туда, куда шла,-- в сад, к шалашу, а он продолжал свой путь с намерением завернуть за сиреневым кустом и идти туда же.

-- Барин,-- послышался ему сзади голос. -- Барыня зовут, на минутку просят зайти.

Это был Миша, их слуга.

"Боже мой, второй раз ты спасаешь меня",-- подумал Евгений и тотчас же вернулся. Жена напоминала ему, что он обещал в обед снести лекарство больной женщине, так вот она просила его взять его.

Пока собирали лекарство, прошло минут пять. Потом, выйдя с лекарством, он не решился идти в шалаш, чтобы его не увидели из дома. Но как только вышел из вида, он тотчас повернул и пошел к шалашу. Он уже видел в воображении своем ее посередине шалаша, весело улыбающуюся; но ее не было, и в шалаше ничего не было, что бы доказывало, что она была. Он уже подумал, что она не приходила и не слышала и не поняла его слов. Он пробурчал их себе под нос, как бы боясь, чтобы она услышала их. "Или, может быть, и не хотела прийти? И с чего он выдумал, что она так и бросится к нему? У нее есть свой муж; только я один такой мерзавец, что у меня жена, и хорошая, а я бегаю за чужою". Так он думал, сидя в шалаше, протекшем в одном месте и капающем с своей соломы. "А что бы за счастье было, если бы она пришла. Одни здесь в этот дождь. Хоть бы раз опять обнять ее, а потом будь что будет. Ах да,-- вспомнил он,-- если была, то по следам можно найти". Он взглянул на землю пробитой к шалашу и не заросшей травой тропинки, и свежий след босой ноги, еще покотившейся, был на ней. "Да, она была. Но теперь кончено. Прямо, где ни увижу, пойду к ней. Ночью пойду к ней". Он долго сидел в шалаше и вышел из него измученный и убитый. Он снес лекарство, вернулся домой и лег у себя в комнате, дожидаясь обеда.

## XVII

Перед обедом Лиза пришла к нему и, все придумывая, что бы могло быть причиной его неудовольствия, стала говорить ему, что она боится, что ему неприятно, что ее хотят везти в Москву родить и что она решила, что останется здесь. И ни за что не поедет в Москву. Он знал, как она боялась и самих родов, и того, чтобы не родить нехорошего ребенка, и потому не мог не умилиться, видя, как легко она всем жертвовала из любви к нему. Все было так хорошо, радостно, чисто в доме; а в душе его было грязно, мерзко, ужасно. Весь вечер Евгений мучался тем, что он знал, что, несмотря на свое искреннее отвращение к своей слабости, несмотря на твердое намерение перервать, завтра будет то же самое.

-- Нет, это невозможно,-- говорил он себе, ходя взад и вперед по своей комнате. -- Ведь должно же быть какое-нибудь средство против этого. Боже мой! что делать?

Кто-то на иностранный манер постучался в дверь. Это, он знал, был дядюшка.

-- Взойдите,-- сказал он.

Дядюшка пришел самопроизвольно послом от жены.

-- Ты знаешь ли, что в самом деле я замечаю в тебе перемену,-- сказал он,-- и Лизу, я понимаю, как это мучает. Я понимаю, что тебе тяжело оставлять все начатое и прекрасное

дело, но что ты хочешь, que veux tu? Я бы советовал вам ехать. Покойней будет и тебе и ей. И знаешь ли, мой совет ехать в Крым. Климат акушер там прекрасный, и в самый виноградный сезон вы попадете.

-- Дядюшка,-- вдруг заговорил Евгений,-- можете вы соблюсти мой секрет, ужасный для меня секрет, постыдный секрет?

-- Помилуй, неужели ты сомневаешься во мне?

-- Дядюшка! Вы можете мне помочь. Не то что помочь, спасти меня,-- сказал Евгений. И мысль о том, что он откроет свою тайну дядюшке, которого он не уважал, мысль о том, что он покажется ему в самом невыгодном свете, унижится перед ним, была ему приятна. Он чувствовал себя мерзким, виноватым, и ему хотелось наказать себя.

-- Говори, мой друг, ты знаешь, как я тебя полюбил,-- заговорил дядюшка, видимо очень довольный и тем, что есть секрет, и что секрет постыдный, и что секрет этот ему сообщат, и что он может быть полезен.

-- Прежде всего я должен сказать, что я мерзавец и негодяй, подлец, именно подлец.

-- Ну, что ты,-- надуваясь горлом, начал дядюшка.

-- Да как же не мерзавец, когда я, Лизин муж, Лизин! -- надо ведь знать ее чистоту, любовь,-- когда я, ее муж, хочу изменить ей с бабой?

-- То есть отчего же ты хочешь? Ты не изменил ей?

-- Да, то есть все равно что изменил, потому что это не от меня зависело. Я готов был. Мне помешали, а то я теперь бы... теперь бы. Я не знаю, что бы я сделал.

-- Но позволь, ты объясни мне...

-- Ну, да вот. Когда я был холостым, я имел глупость войти в сношения с женщиной здесь, из нашей деревни. То есть, как я встречался с ней в лесу, в поле...

-- И хорошенькая? -- сказал дядюшка.

Евгений поморщился от этого вопроса, но ему так нужна была помощь внешняя, что он как будто не слышал его и продолжал:

-- Ну, я думал, что это так, что я перерву и все кончится. Я и перервал еще до женитьбы и почти год и не видал и не думал о ней,-- Евгению самому странно было себя слушать, слушать описание своего состояния,-- потом вдруг, уж я не знаю отчего,-- право, иногда веришь в привороты,-- я увидел ее, и червь залез мне в сердце -- гложет меня. Я ругаю себя, понимая весь ужас своего поступка, то есть того, который я всякую минуту могу сделать, и сам иду на это, и если не сделал, то только бог меня спасал. Вчера я шел к ней, когда Лиза позвала меня.

-- Как, в дождь?

-- Да, я излучался, дядюшка, и решил открыться вам и просить вашей помощи.

-- Да, разумеется, в своем именье это нехорошо. Узнают. Я понимаю, что Лиза слаба, надо жалеть ее, но зачем в своем именье?

Опять Евгений постарался не слышать того, что говорил дядюшка, и приступил скорее к сущности дела.

-- Да вы спасите меня от себя. Я вас вот о чем прошу. Нынче мне помешали случайно, но завтра, в другой раз мне не помешают. И она знает теперь. Не пускайте меня одного.

-- Да, положим,-- сказал дядюшка. -- Но неужели ты так влюблен?

-- Ах, совсем не то. Это не то, это какая-то сила ухватила меня и держит. Я не знаю, что делать. Может быть, я окрепну, тогда...

-- Ну вот и выходит по-моему,-- сказал дядюшка.-- Поедемте-ка в Крым.

-- Да, да, поедемте, а пока я буду с вами, буду говорить вам.

## XVIII

То, что Евгений доверил дядюшке свою тайну и, главное, те мучения совести и стыда, которые он пережил после того дождливого дня, отрезвили его. Поездка в Ялту была решена через неделю. В эту неделю Евгении. ездил в город доставать денег на поездку,

распоряжался из дома и конторы по хозяйству, опять стал весел и близок с женою и стал нравственно оживать.

Так, ни разу после того дождливого дня не видав Степаниду, он уехал с женою в Крым. В Крыму они провели прекрасно два месяца. Евгению было столько новых впечатлений, что все прежнее стерлось, ему казалось, совсем из его воспоминания. В Крыму они встретили прежних знакомых и особенно сблизились с ними; кроме того, сделали новые знакомства. Жизнь в Крыму для Евгения была постоянным праздником и, кроме того, еще была поучительна и полезна для него. Они сблизились там с бывшим губернским предводителем их же губернии, с умным, либеральным человеком, который полюбил Евгения и образовывал его и привлек на свою сторону. В конце августа Лиза родила прекрасную, здоровую девочку, и родила неожиданно очень легко.

В сентябре Иртеневы поехали домой уже сам-четверт, с ребенком и кормилицей, так как Лиза не могла кормить. Совершенно свободный от прежних ужасов, Евгений вернулся к себе совсем новым и счастливым человеком. Пережив все то, что переживают мужья при родах, он еще сильнее полюбил жену. Чувство к ребенку, когда он его брал на руки, было смешное, новое, очень приятное, точно щекотное чувство. Еще новое в его жизни теперь было то, что, кроме занятий хозяйством, в его душе благодаря сближению с Думчиным (бывший предводитель) возник новый интерес земский, отчасти честолюбивый, отчасти сознания долга. В октябре должно было быть экстренное собрание, в котором его должны были выбрать. Приехав домой, он раз съездил в город, другой раз к Думчину.

О мучениях соблазна и борьбы он забыл и думать и с трудом мог восстановить их в своем воображении. Это представлялось ему чем-то вроде припадка сумасшествия, которому он подвергся.

До такой степени теперь он чувствовал себя свободным от этого, что он даже не побоялся спросить при первом случае, когда они остались одни, у приказчика. Так как он уж говорил с ним об этом, ему не совестно было спросить.

-- Ну что, Пчельников Сидор все не живет дома? -- спросил он.

-- Нет, все в городе.

-- А баба его?

-- Да пустая бабенка! Теперь с Зиновеем путается. Совсем заболталась.

"Ну и прекрасно,-- подумал Евгений. -- Как удивительно мне все равно и как я изменился".

## XIX

Совершилось все, чего желал Евгений. Именье осталось за ним, завод пошел, выход свекловицы был прекрасный, и доход ожидался большой; жена благополучно родила, и теща уехала, и его выбрали единогласно.

Евгений после избрания возвращался домой из города. Его поздравляли, он должен был благодарить. И он обедал и выпил бокалов пять шампанского. Совсем новые планы жизни теперь представились ему. Он ехал домой и думал о них. Было бабье лето. Прекрасная дорога, яркое солнце. Подъезжая к дому, Евгений думал о том, как он вследствие этого избрания займет в народе именно то положение, о котором он всегда мечтал, то есть такое, в котором он в состоянии будет служить ему не одним производством, которое дает работу, но прямым влиянием. Он представлял себе, как об нем через три года будут судить его же и другие крестьяне. "Вот и этот",-- думал он, проезжая в это время по деревне и глядя на мужика и бабу, которые шли ему поперек дороги с полным ушатом. Они остановились, пропуская тарантас. Мужик был старик Пчельников, баба была Степанида. Евгений взглянул на нее, узнал ее и с радостью почувствовал, что он остался совершенно спокойным. Она была все так же миловидна, но его это не тронуло нисколько. Он приехал домой. Жена встретила на крыльце. Был чудный вечер.

-- Ну что, можно поздравить? -- сказал дядюшка.

-- Да, выбрали.

-- Ну и прекрасно. Спрыснуть надо.

На другое утро Евгений поехал по хозяйству, которое он запустил. На хуторе молотилка новая работала. Рассматривая ее работу, Евгений ходил между баб, стараясь не замечать их, но как он ни старался, он раза два заметил черные глаза и красный платок Степаниды, носившей солому. Раза два он покосился на нее и почувствовал, что опять что-то, но не мог дать себе отчета. Только на другой день, когда он опять поехал на гумно хутора и пробыл там два часа, чего совсем не нужно было, не переставая глазами ласкать знакомый красивый образ молодой женщины, он почувствовал, что он погиб, погиб совсем, безвозвратно. Опять эти мученья, опять весь этот ужас и страх. И нет спасенья.

То, чего он ожидал, то и случилось с ним. На другой день вечером он, сам не зная как, очутился у ее задворков, против ее сеного сарая, где один раз осенью у них было свиданье. Он, как будто гуляя, остановился тут, закуривая папироску. Баба-соседка увидела его, и он, проходя назад, услышал, как она говорила кому-то:

-- Иди, дожидается, сейчас умереть, стоит. Иди, дура!

Он видел, как баба -- она -- побежала к сараю, но ему нельзя уже было вернуться, потому что его встретил мужик, и он пошел домой.

## XX

Когда он пришел в гостиную, все ему показалось дико и неестественно. Утром он встал еще бодрый, с решением бросить, забыть, не позволять себе думать. Но, сам не замечая как, он все утро не только не интересовался делами, но старался освободиться от них. То, что прежде важно было, радовало его, было теперь ничтожно. Он бессознательно старался освободиться от дел. Ему казалось, что нужно освободиться для того, чтобы обсудить, обдумать. И он освободился и остался один. Но как только остался один, так он пошел бродить в сад, в лес. И все места эти были загажены воспоминаниями, воспоминаниями, захватывающими его. И он почувствовал, что он ходит в саду и говорит себе, что обдумывает что-то, а он ничего не обдумывает, а безумно, безосновательно ждет ее, ждет того, что она каким-то чудом поймет, как он желает ее, и возьмет и придет сюда или куда-нибудь туда, где никто не увидит, или ночью, когда не будет луны, и никто, даже она сама, не увидит, в такую ночь она придет, и он коснется ее тела...

"Да, вот и перервал, когда захотел,-- говорил он себе. -- Да, вот и для здоровья сошелся с чистой, здоровой женщиной! Нет, видно, нельзя так играть с ней. Я думал, что я ее взял, а она взяла меня, взяла и не пустила. Ведь я думал, что я свободен, а я не был свободен. Я обманывал себя, когда женился. Все было вздор, обман. С тех пор как я сошелся с ней, я испытал новое чувство, настоящее чувство мужа. Да, мне надо было жить с ней.

Да, две жизни возможны для меня; одна та, которую я начал с Лизой: служба, хозяйство, ребенок, уважение людей. Если эта жизнь, то надо, чтоб ее, Степаниды, не было. Надо усрать ее, как я говорил, или уничтожить ее, чтоб ее не было. А другая жизнь -- это тут же. Отнять ее у мужа, дать ему денег, забыть про стыд и позор и жить с ней. Но тогда надо, чтоб Лизы не было и Мими (ребенка). Нет, что же, ребенок не мешает, но чтоб Лизы не было, чтоб она уехала. Чтоб она узнала, прокляла и уехала. Узнала, что я променял ее на бабу, что я обманщик, подлец. Нет, это слишком ужасно! Этого нельзя. Да, но может и так быть,-- продолжал он думать,-- может так быть. Лиза заболит да умрет. Умрет, и тогда все будет прекрасно.

Прекрасно! О негодяй! Нет, уж если умирать, то ей. Кабы она умерла, Степанида, как бы хорошо было.

Да, вот как отравляют или убивают жен или любовниц. Взять револьвер и пойти вызвать и, вместо объятий, в грудь. И кончено.

Ведь она черт. Прямо черт. Ведь она против воли моей завладела мною. Убить? да. Только два выхода: убить жену или ее. Потому что так жить нельзя [С этого места начинается вариант конца повести]. Нельзя. Надо обдумать и предвидеть. Если остаться так, как есть, то что будет?

Будет то, что я опять себе скажу, что я не хочу, что я брошу, но я только скажу, а буду вечером на задворках, и она знает, и она придет. И или люди узнают и скажут жене, или я сам скажу ей, потому что не могу я лгать, не могу я так жить. Не могу. Узнается. Все узнают, и Параша, и кузнец. Ну и что же, разве можно жить так?

Нельзя. Только два выхода: жену убить или ее. Да еще...

Ах, да, третий есть: себя,-- сказал он тихо вслух, и вдруг мороз пробежал у него по коже. -- Да, себя, тогда не нужно их убивать". Ему стало страшно именно потому, что он чувствовал, что только этот выход возможен. "Револьвер есть. Неужели я убью себя? Вот чего не думал никогда. Как это странно будет".

Он вернулся к себе в комнату и тотчас открыл шкаф, где был револьвер. Но не успел он открыть его, как вошла жена.

## XXI

Он накинул газету на револьвер.

-- Опять то же,-- с испугом сказала она, взглянув на него.

-- Что то же?

-- То же ужасное выражение, которое было прежде, когда ты не хотел мне сказать. Геня, голубчик, скажи мне. Я вижу, ты мучаешься. Скажи мне, тебе легче будет. Что бы ни было, все лучше этих твоих страданий. Ведь я знаю, что ничего дурного.

-- Ты знаешь? Пока.

-- Скажи, скажи, скажи. Не пушу тебя.

Он улыбнулся жалкой улыбкой.

"Сказать? Нет, это невозможно. Да и нечего говорить".

Может быть, он сказал бы ей, но в это время вошла кормилица, спрашивая, можно ли идти гулять. Лиза вышла одеть ребенка.

-- Так ты скажешь. Я сейчас приду.

-- Да, может быть...

Она никогда не могла забыть улыбки страдальческой, с которой он сказал это. Она вышла.

Поспешно, крадучись, как разбойник, он схватил револьвер, вынул из чехла. "Он заряжен, да, но давно, и одного заряда недостает. Ну, что будет".

Он приставил к виску, замялся было, но как только вспомнил Степаниду, решение не видеть борьбу, соблазн, падение, опять борьбу, так вздрогнул от ужаса. "Нет, лучше это". И пожал гашетку.

Когда Лиза вбежала в комнату,-- она только что успела спуститься с балкона,-- он лежал ничком на полу, черная, теплая кровь хлестала из раны, и труп еще подрагивал.

Было следствие. Никто не мог понять и объяснить причины самоубийства. Дядюшке даже ни разу не пришло в голову, что причина имела что-нибудь общего с тем признанием, которое два месяца тому назад ему делал Евгений.

Варвара Алексеевна уверяла, что она всегда предсказывала это. Это было видно, когда он спорил. Лиза и Марья Павловна обе никак не могли понять, отчего это случилось, и все-таки не верили тому, что говорили доктора, что он был душевнобольной. Они не могли никак согласиться с этим, потому что знали, что он был более здравомыслящ, чем сотни людей, которых они знали.

И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные -- это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят.

19 ноября 1889. Ясная Поляна

## Чехов Антон

### Об авторе:

*Лев ШЕСТОВ Творчество из ничего. (А. П. Чехов)*<sup>62</sup>

*Résigne-toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute*

*Ch. Baudelaire*

{Смирись, мое сердце,

Засни глубоким сном.

Ш. Бодлер.}

I

Чехов умер -- теперь можно о нем свободно говорить. Ибо говорить о художнике -- значит выявлять, обнаруживать скрывающуюся в его произведениях "тенденцию", а проделывать такую операцию над живым человеком далеко не всегда позволительно. Ведь была же какая-нибудь причина, заставлявшая его таиться, и, разумеется, причина серьезная, важная. Мне кажется, многие это чувствовали, и отчасти потому у них до сих пор нет настоящей оценки Чехова. Разбирая его произведения, критики до сих пор ограничивались общими местами и избитыми фразами. Знали, конечно, что это дурно: но все лучше, чем выпытывать правду у живого человека. Один Н. К. Михайловский попробовал ближе подойти к источнику творчества Чехова и, как известно, с испугом, даже с отвращением отшатнулся от него. Тут, между прочим, покойный критик мог лишний раз убедиться в фантастичности так называемой теории искусства ради искусства. У каждого художника есть своя определенная задача, свое жизненное дело, которому он отдает все силы. Тенденция смешна, когда она рассчитывает заменить собою дарование, прикрыть беспомощность и отсутствие содержания, когда она заимствуется на веру из запаса ходких в данную минуту идей. "Я защищаю идеалы, -- стало быть, все должны мне сочувствовать" -- в литературе такого рода претензии высказываются сплошь и рядом -- и знаменитый спор о свободном искусстве, по-видимому, держался только на двояком смысле употреблявшегося противниками слова "тенденция". Одни хотели думать, что благородство направления спасает писателя, другие боялись, что тенденция закабалит их на службу чуждым им задачам. Очевидно, обе стороны напрасно волновались: никогда готовые идеи не прибавят дарования посредственности, и, наоборот, оригинальный писатель во что бы то ни стало поставит себе собственную задачу. У Чехова было свое дело, хотя некоторые критики и говорили о том, что он был служителем чистого искусства, и даже сравнивали его с беззаботно порхающей птичкой. Чтобы в двух словах определить его тенденцию, я скажу: Чехов был п\_е\_в\_ц\_о\_м б\_е\_з\_н\_а\_д\_е\_ж\_н\_о\_с\_т\_и. Упорно, уныло, однообразно в течение всей своей почти 25-летней деятельности Чехов только одно и делал: теми или иными способами убивал человеческие надежды. В этом, на мой взгляд, сущность его творчества. Об этом до сих пор мало говорили -- и по причинам вполне понятным: ведь то, что делал Чехов, на обыкновенном языке называется преступлением и подлежит суровейшей каре. Но как казнить талантливого человека? Даже у Михайловского, показавшего на своем веку не один пример беспощадной суровости, не поднялась рука на Чехова. Он предостерегал читателей, указывая на "недобрые огоньки",

62 А. П. Чехов: pro et contra / Сост., общая редакция И. Н. Сухих. СПб.: РХГИ, 2002. -- (Русский путь).

подмеченные им в глазах Чехова<sup>2</sup>. Но дальше этого он не шел: огромный талант Чехова подкупил ригористически строгого критика. Может быть, впрочем, не последнюю роль в относительной мягкости приговора Михайловского сыграло и его собственное положение в литературе. Тридцать лет подряд молодое поколение слушало его, и слово его было законом. Но потом всем надоело вечно повторять: Аристид справедлив, Аристид прав<sup>3</sup>. Молодое поколение захотело жить и говорить по-своему, и в конце концов старого учителя подвергли остракизму. В литературе существует тот же обычай, что и у жителей Огненной земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков. Михайловский отбивался сколько мог, но он уже не чувствовал той твердости убеждения, которая вырастает из сознания своего права. Внутренне он как будто чувствовал, что правы молодые -- не тем, конечно, что они знают истину: какую истину знали экономические материалисты -- а тем, что они молоды, что у них жизнь впереди. Восходящее светило всегда светит ярче заходящего, и старики должны добровольно отдавать себя на съедение молодым. Михайловский, повторяю, это чувствовал, и это, быть может, отнимало у него прежнюю уверенность и твердость в суждениях. Он, правда, по-прежнему, как мать гетевской Гретхен, не принимал попадавших к нему случайно богатых даров, не посоветовавшись предварительно со своим духовником<sup>4</sup>. Дар Чехова он тоже носил к пастору, и, очевидно, он там был заподозрен и отвергнут -- но идти против общественного мнения у Михайловского уже не было смелости. Молодое поколение ценило в Чехове талант, огромный талант, и ясно было, что он от него не отречется. Что оставалось Михайловскому? Он пробовал, говорю, предостерегать. Но его никто не слушал, и Чехов стал одним из любимейших русских писателей.

А меж тем справедливый Аристид и на этот раз был прав, как он был прав, когда предостерегал против Достоевского: теперь Чехова нет, об этом уже можно говорить. Возьмите рассказы Чехова -- каждый порознь или, еще лучше, все вместе: посмотрите его за работой. Он постоянно точно в засаде сидит, высматривая и подстерегая человеческие надежды. И будьте спокойны за него: ни одной из них он не просмотрит, ни одна из них не избежит своей участи. Искусство, наука, любовь, вдохновение, идеалы, будущее -- переберите все слова, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя -- стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают. И сам Чехов на наших глазах блекнул, вянул и умирал -- не умирало в нем только его удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди. Более того, в этом искусстве он постоянно совершенствовался и дошел до виртуозности, до которой не доходил никто из его соперников в европейской литературе. Я без колебания ставлю его далеко впереди Мопассана. Мопассану часто приходилось делать напряжения, чтоб справиться со своей жертвой. От Мопассана сплошь и рядом жертва уходила хоть помятой и изломанной, но живой. В руках Чехова все умирало.

## II

Нужно напомнить, хотя все это знают, что в первых своих произведениях Чехов менее всего похож на того Чехова, к которому мы привыкли в последние годы. Молодой Чехов весел, беззаботен и, пожалуй, даже похож на порхающую птичку. Свои работы он печатает в юмористических журналах. Но уже в 1888--1889 годах, когда ему было всего 27, 28 лет, появились две его вещи: рассказ "Скучная история" и драма "Иванов", которыми положено начало новому творчеству. Очевидно, в нем произошел внезапный и резкий перелом, целиком отразившийся и в его произведениях. обстоятельной биографии Чехова мы еще не имеем, да, вероятно, и иметь не будем, по той причине, что обстоятельных биографий не бывает -- я, по крайней мере, не могу назвать ни одной. Обыкновенно в жизнеописаниях нам рассказывают все, кроме того, что важно было бы узнать. Может быть, когда-нибудь выяснится с мельчайшими подробностями, у какого

портного шил себе платье Чехов, но наверное мы никогда не узнаем, что произошло с Чеховым за то время, которое протекло между окончанием его рассказа "Степь" и появлением первой драмы. Если хотим знать, нужно положиться на его произведения и собственную догадливость.

"Иванов" и "Скучная история" представляются мне вещами, носящими наиболее автобиографический характер. В них почти каждая строчка рыдает -- и трудно предположить, чтобы так рыдать мог человек, только глядя на чужое горе. И видно, что горе новое, нежданное, точно с неба свалившееся. Оно есть, оно всегда будет, а что с ним делать -- неизвестно.

В "Иванове" главный герой сравнивает себя с надорвавшимся рабочим. Я думаю, что мы не ошибемся, если приложим это сравнение и к автору драмы. Чехов надорвался, в этом почти не может быть сомнения. И надорвался не от тяжелой, большой работы, не великий непосильный подвиг сломил его, а так, пустой, незначительный случай: упал, споткнувшись, поскользнулся. И вот бессмысленный, глупый, невидный почти случай, и нет прежнего Чехова, веселого и радостного, нет смешных рассказов для "Будильника", а есть угрюмый, хмурый человек, "преступник", пугающий своими словами даже опытных и бывалых людей.

При желании легко отделаться и от Чехова, и от его творчества. В нашем языке есть два волшебных слова: "патологический" и его собрат -- "ненормальный". Раз Чехов надорвался, мы имеем совершенно законное, освященное наукой и всеми традициями право не считаться с ним, в особенности если он уже умер и, стало быть, не может быть обиженным нашим пренебрежением. Это при желании отделаться от Чехова. Но если такого желания почему-либо нет, слова "ненормальный" и "патологический" на вас не произведут никакого действия. Может быть, вы пойдете дальше и попытаетесь найти в чеховских переживаниях критерии наиболее незыблемых истин и предпосылок нашего познания. Третьего выхода нет: нужно либо отвергнуть Чехова, либо стать его соучастником.

В "Скучной истории" герой -- старый профессор; в "Иванове" герой -- молодой помещик. И, однако, тема в обоих произведениях одна и та же. Профессор надорвался и этим отрезал себя и от своей прошлой жизни, и от возможности принимать деятельное участие в человеческих интересах; Иванов тоже надорвался и стал лишним, ненужным человеком. Если бы жизнь была так устроена, что одновременно с утратой здоровья, сил и способностей наступала и смерть, старый профессор и молодой Иванов не могли бы просуществовать и часу. Для слепого ясно: оба они разбиты и для жизни не годятся. Но по непонятным для нас причинам мудрая природа не озаботилась о такого рода совпадении: сплошь и рядом человек продолжает жить после того, когда он совершенно утратил способность брать от жизни то, в чем мы привыкли видеть ее сущность и смысл. И еще поразительнее: у разбитого человека обыкновенно отнимается все, кроме способности сознавать и чувствовать свое положение. Если угодно -- мыслительные способности в таких случаях большей частью утончаются, обостряются, вырастают до колоссальных размеров. Нередко средний посредственный, банальный человек, попав в исключительное положение Иванова или старого профессора, изменяется до неузнаваемости. В нем появляются признаки дарования, таланта, даже гениальности. Ницше поставил когда-то такой вопрос: может ли осел быть трагическим? Он оставил его без ответа, но за него ответил гр. Толстой в "Смерти Ивана Ильича". Иван Ильич, как видно из сделанного Толстым описания его жизни, посредственная, обыкновенная натура, одна из тех, которые проходят свой путь, избегая всего трудного и проблематического, озабоченные исключительно спокойствием и приятностью земного существования. И вот, чуть только пахнуло на него холодом трагедии -- он весь преобразился. Иван Ильич и его последние дни захватывают нас не меньше, чем история Сократа и Паскаля.

Замечу кстати -- и это я считаю чрезвычайно важным, -- что в творчестве своем Чехов находился под влиянием Толстого, и в особенности под влиянием его последних произведений<sup>5</sup>. Это важно в виду того, что таким образом часть "вины" Чехова падает на великого писателя земли русской. Мне представляется, что если бы не было "Смерти Ивана Ильича" -- не было бы ни "Скучной истории", ни "Иванова", ни многих других замечательных произведений Чехова. Это менее всего, однако, значит, что Чехов заимствовал хоть одно слово у своего великого предшественника. У Чехова было достаточно собственного материала, и в этом смысле он в помощи не нуждался. Но едва ли молодой писатель решился бы предстать за свой собственный страх пред людьми с теми мыслями, которые составляют содержание "Скучной истории". Толстой, когда писал "Смерть Ивана Ильича", имел за собой "Войну и мир", "Анну Каренину" и прочно установившуюся репутацию первоклассного художника. Ему все было позволено. Чехов же был молодым человеком, весь литературный багаж которого сводился к нескольким десяткам мелких рассказов, приютившихся на страницах малоизвестных и не пользовавшихся влиянием периодических изданий. Если бы Толстой не проложил пути, если бы Толстой своим примером не показал, что в литературе разрешается говорить правду, говорить что угодно, Чехову пришлось бы, может быть, долго бороться с собой, прежде чем он решился бы на публичную исповедь, хотя бы в форме рассказов. Да и после Толстого какую ужасную борьбу пришлось выдержать Чехову с общественным мнением! "Зачем он пишет свои ужасные рассказы и драмы? -- спрашивали себя все. -- Зачем писатель систематически подбирает для своих героев такие положения, из которых нет и абсолютно не может быть никакого выхода? Что можно сказать старому профессору и его воспитаннице, Кате, в ответ на их нескончаемые жалобы?" То есть, в сущности, есть что сказать: в литературе с давних времен заготовлен большой и разнообразный запас всякого рода общих идей и мировоззрений, метафизических и позитивных, о которых учителя вспоминают каждый раз, как только начинают раздаваться слишком требовательные и беспокойные человеческие голоса. Но в том-то и дело, что Чехов, будучи сам писателем и образованным человеком, заранее, вперед, отверг всевозможные утешения, метафизические и позитивные. Даже у Толстого, тоже не слишком ценившего философские системы, вы не встречаете такого резко выраженного отращения ко всякого рода мировоззрениям и идеям, как у Чехова. Он хорошо знает, что мировоззрения полагаются чтить и уважать, свою неспособность преклоняться перед тем, что считается образованными людьми святыней, он считает своим недостатком, с которым нужно всеми силами бороться. Он даже и борется с ним всеми силами, но безуспешно. Борьба не только ни к чему не приводит, но, наоборот, чем дольше живет Чехов, тем больше ослабевает над ним власть высоких слов -- вопреки собственному разуму и сознательной воле. Под конец он совершенно эмансипируется от всякого рода идей и даже теряет представление о связи жизненных событий. В этом самая значительная и оригинальная черта его творчества. Забегая несколько вперед, я уже здесь укажу на его комедию "Чайка", в которой, наперекор всем литературным принципам, основой действия является не логическое развитие страстей, не неизбежная связь между предыдущим и последующим, а голый, демонстративно ничем не прикрытый случай. Читая драму, иной раз кажется, что пред тобой номер газеты с бесконечным рядом faits divers<sup>6</sup>, нагроможденных друг на друга без всякого порядка и заранее обдуманного плана. Во всем и везде царит самодержавный случай, на этот раз дерзко бросающий вызов всем мировоззрениям. В этом, говорю, наибольшая оригинальность Чехова и -- странно подумать -- источник его мучительнейших переживаний. Он не хотел оригинальности, он делал нечеловеческие напряжения, чтобы быть, как все, -- но от судьбы не уйдешь! Сколько людей, особенно среди писателей, из кожи лезут, чтобы быть не похожими на других, и все-таки не могут освободиться от шаблона -- а вот Чехов против воли стал своеобразным! Очевидно, что условием своеобразности является не готовность во что бы то ни стало высказывать неприятные суждения. Самая новая

*и смелая мысль может оказаться и часто оказывается пошлой и скучной. Чтобы стать оригинальным, нужно не выдумывать мысль, а совершить дело, трудное и болезненное. И так как люди бегут труда и страданий, то обыкновенно действительно новое рождается в человеке против его воли.*

### III

*"С совершившимся фактом мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а середины нет". "Действовать" при таких условиях невозможно, стало быть, остается "упасть на пол, кричать и биться головой об пол". Так говорит Чехов об одном из своих героев, но мог бы сказать обо всех без исключения. Заботами автора они поставлены в такое положение, что им остается только одно: упасть на пол и колотиться головой о стену. Со странным, загадочным упорством они отвергают все принятые способы спасения. Николай Степанович ("Скучная история") мог бы попытаться забыться или утешиться воспоминаниями из своего прошлого. Но воспоминания только раздражают его. Он был выдающимся ученым -- теперь работа валится из его рук. Он умел два часа подряд на лекции удерживать внимание аудитории, теперь его не хватает и на четверть часа. У него были друзья и товарищи, он любил своих учеников и помощников, свою жену, своих детей, теперь ему ровно ни до кого нет дела. Если люди и возбуждают в нем какие-либо чувства, то разве только ненависть, злобу и зависть. Он должен признаться себе в этом с той правдивостью, которая неизвестно почему, зачем и откуда пришла к нему на смену прежнему, свойственному всем умным и нормальным людям дипломатическому искусству видеть и говорить лишь то, что способствует добрым человеческим отношениям и здоровым внутренним настроениям. Все, о чем он теперь думает, все, что он теперь видит, только отравляет ему и другим те небольшие радости, которыми красится человеческая жизнь. Он чувствует с ясностью, которой не достигал никогда в лучшие дни и часы своих прежних теоретических изысканий, что он стал преступником -- ничего не преступив. Все, что он прежде делал, было хорошо, нужно, полезно. Он рассказывает о своем прошлом, и вы видите, что он всегда был прав и мог бы разрешить самому суровому судье во всякое время дня и ночи прийти к нему -- проверить не только дела его, но и помыслы. А теперь не только посторонний осудил бы его -- он сам себя осуждает. Он откровенно признается, что весь соткан из зависти и ненависти. "Самое лучшее и святое право королей, -- говорит он, -- это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево... Но теперь я уже не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен". Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться такая перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил, -- я ведь болен и каждый день теряю в весе, -- то положение мое жалко: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными..."*

*Такой вопрос ставит старый, умирающий профессор, а вместе с ним и Чехов. Что лучше? Быть ли королем, или старой, завистливой, злой "жабой", как он называет себя в другом месте? Вопрос оригинальный, спору нет. Вы чувствуете в приведенных словах, чего стоила Чехову его оригинальность, и с какой великой радостью, в ту минуту, когда для него выяснялась его "новая" точка зрения, отдал бы он все свои оригинальные мысли за самую обыкновенную, банальную способность доброжелательства. Для него сомнений нет, его образ мыслей жалок, отвратителен, постыден. Его настроения ему так же противны, как и его наружность, которую он описывает в следующих выражениях: "Я изображаю из себя человека 62 лет, с лысой головой, с вставленными зубами и с*

неизлечимым тиком. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь, все лицо покрывается старческими, мертвенными морщинами". Хороша фигура? Хороши настроения? Поглядеть со стороны на такого уродца, и в сердце самого доброго и сострадательного человека невольно шевельнется жестокая мысль; поскорее добить, уничтожить эту жалкую и отвратительную гадину, или, если нельзя в силу существующих законов прибегнуть к такой решительной мере -- то по крайней мере припрятать его подальше от человеческих глаз, куда-нибудь в тюрьму, в больницу, в сумасшедший дом: приемы борьбы, разрешаемые не только законодательством, но, если не ошибаюсь, и вечной моралью. Но тут вы наталкиваетесь на особый вид сопротивления. Физических сил для борьбы с тюремщиками, палачами, больничными служащими и моралистами у старого профессора нет: его и малый ребенок свалит. Убеждения и просьбы -- он знает это -- не помогут. И он пускается на отчаянное средство: страшным, диким, раздирающим душу голосом он начинает кричать на весь мир о каких-то правах своих. "Мне хочется прокричать не своим голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь, в аудитории, будет хозяйничать другой. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, которых я не знал раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в то же время мое положение представляется мне таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком, бросились к выходу". Доводы профессора едва ли на кого-нибудь подействуют -- да я и не знаю, есть ли в приведенных словах доводы. Но этот ужасающий, нечеловеческий стон! Представьте себе картину, лысый, безобразный старик, с трясущимися руками, с искривленным ртом, с высохшей шеей, с обезумевшими от страха глазами, валяется, как зверь, на земле, и вопит, вопит, вопит! Чего ему нужно?! Он прожил длинную, интересную жизнь, теперь осталось бы только красиво закончить ее, возможно тихо, спокойно, и торжественно распростившись с земным существованием. Но он рвет и мечет, призывает к суду чуть ли не всю вселенную и судорожно цепляется за оставшиеся ему дни. А Чехов? Что делает Чехов? Вместо того, чтобы равнодушно пройти мимо, он берет сторону чудовищного уродца, он посвящает десятки страниц его "душевным переживаниям" и постепенно доводит читателя до того, что, вместо естественного и законного чувства негодования, в его сердце зарождаются ненужные и опасные симпатии к разлагающемуся и гниющему существованию. Ведь помочь профессору нельзя -- это знает всякий. А если нельзя помочь, то, стало быть, нужно забыть: это прописная истина. Какая польза, какой смысл может быть в бесконечном расписывании, гр. Толстой сказал бы -- размазывании, невыносимых мук агонии, неизбежно приводящей к смерти?

Если бы "новые" мысли и чувства профессора блистали красотой, благородством, самоотверженностью -- тогда дело иное: читатель мог бы кой-чему поучиться. Но, как видно из рассказа Чехова, все эти качества принадлежали старым мыслям его героя. Теперь, с началом болезни, в нем зародилось непобедимое отвращение ко всему, что хотя издали напоминает высокие чувства. Когда его воспитанница, Катя, обращается к нему за советом, что делать, -- он, знаменитый ученый, друг Пирогова, Кавелина и Некрасова, воспитавший столько поколений молодежи, не знает, что сказать ей. Бессмысленно перебирает он в своей памяти целый ряд хороших слов -- но они потеряли для него всякое значение. Что ответить ей? -- спрашивает он себя. "Легко сказать -- трудись или раздай свое имущество бедным или познай самого себя, и потому, что легко сказать, я не знаю, что ответить". Катя, еще молодая, здоровая и красивая женщина, стараниями Чехова попала, как и профессор, в мышеловку, из которой человеческими

силами не вырваться. И с тех пор, как она познала безнадежность, она завоевала все симпатии автора. Пока человек пристроен к какому-нибудь делу, пока человек имеет хоть что-нибудь впереди себя -- Чехов к нему совершенно равнодушен. Если и описывает его, то обыкновенно наскоро и в небрежно-ироническом тоне. А вот когда он запутается, да так запутается, что никакими средствами его не выпутаешь, -- тогда Чехов начинает оживляться. Тогда у него являются краски, энергия, подъем творческих сил, вдохновение. В этом, может быть, секрет его политического индифферентизма. Несмотря на все свое недоверие к проектам лучшего будущего, Чехов, как и Достоевский, очевидно, не был вполне убежден в том, что общественные реформы и наука бессильны. Как ни труден социальный вопрос, но все же он может быть разрешим. Может, когда-нибудь людям и суждено хорошо устроиться на земле, так, чтобы и жить, и умирать без мук, и что дальше этого идеала человечество не может идти; может быть, авторы толстых трактатов о прогрессе угадывают и прозревают что-то. Но именно потому их дело чуждо Чехову. Его сначала инстинктивно, а потом и сознательно влекло к неразрешимым по существу проблемам, вроде той, которая изображена в "Скучной истории"; в наличии бессилие, инвалидность, впереди неизбежная смерть, и никаких надежд хоть сколько-нибудь изменить положение. Такое влечение, все равно инстинктивное или сознательное, явно противоречит требованиям здравого рассудка и нормальной воли. Но от Чехова, от надорвавшегося человека, нельзя ожидать ничего другого. О безнадежности всякий знает или слышал. Сплошь и рядом на наших глазах разыгрываются ужасные, невыносимые трагедии, и если бы каждый погибающий, по примеру Николая Степановича, по поводу своей гибели подымал такую ужасную тревогу, жизнь обратилась бы в кромешный ад. Николай Степанович обязан не выкрикивать о своих муках на весь мир, а позаботиться о том, чтобы возможно меньше беспокоить людей. И Чехов обязан был бы всячески помогать ему в этом почтенном деле. Мало ли скучных историй на свете -- всех не перечтешь! Особенно такого рода истории, как та, о которой рассказывает Чехов, -- их бы следовало с особенным старанием припрятывать как можно дальше от человеческих взоров. Ведь здесь мы имеем дело с разложением живого организма. Что бы сказали человеку, который воспротивился бы преданию земле трупов, который стал бы выкапывать из могил разлагающиеся и гниющие тела, хотя бы на том основании, вернее, под тем предлогом, что это тела близких ему, далее знаменитых, прославленных, гениальных людей?! Такое занятие в нормальном, здоровом духе не может вызвать ничего, кроме отвращения и страха. В старину колдуны, кудесники, волхвы, по народному поверью, водились с мертвецами и находили в этом страшном занятии что-то вроде удовлетворения или даже настоящее удовольствие. Но они обыкновенно прятались от людей в леса и пещеры, уходили в пустыни и горы, чтоб там в одиночестве предаваться своим противоестественным склонностям. И если случайно удавалось обнаружить их дела, здоровые люди отвечали им кострами, виселицами, пытками. То, что называется злом, худший вид зла обыкновенно имел своим источником и началом интерес и вкус в мертвечине. Человек прощал всякое преступление -- жестокость, насилие, убийство, но никогда он не прощал бескорыстной любви и искания тайны смерти. В этом смысле свободная от предрассудков современность немного дальше зашла, чем средневековье. Может быть, разница лишь в том, что мы, занятые практическими делами, утратили естественное чутье добра и зла. Мы теоретически даже убеждены, что колдунов и волхвов в наше время не бывает и быть не может. Наша уверенность и беспечность в этом отношении доходила до того, что почти все даже в Достоевском видели только художника и публициста и серьезно спорили с ним о том, нужны ли русскому народу розги и братъ ли нам Константинополь<sup>7</sup>.

Один Михайловский смутно догадывался, в чем тут дело, и называл автора "Карамазовых" кладоискателем. Я говорю: смутно догадывался, ибо мне представляется, что это замечание было сделано покойным критиком отчасти в

иносказательном, как будто даже в шутливом тоне. А меж тем никто из других критиков Достоевского не обмолвился даже случайно более метким словом. И Чехов был кладоискателем, волхвом, кудесником, заклинателем. Этим объясняется его исключительное пристрастие к смерти, разложению, гниению, к безнадежности.

Не один Чехов, конечно, брал сюжетом для своих произведений смерть. Но дело не в сюжете, а в том, как сюжет трактуется. Чехов понимает это. "Во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, -- рассказывает он, -- нет чего-то общего, что связывало бы все в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, литературе, учениках, даже во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, богом живого человека. А раз нет этого, значит, нет ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья". В приведенных словах выражается одна из самых "новых" мыслей Чехова -- ею же определяется и все последующее творчество его. Выражена она в скромной, покаянной форме -- человек признается в неспособности подчинить свои мысли высшей идее, и в такой неспособности видит свою слабость. И этого было достаточно, чтобы до некоторой степени отвести от него громы критики и суда общественного мнения. Кающихся грешников мы охотно прощаем! Совершенно напрасная снисходительность: недостаточно признать себя виновным, чтобы искупить свою вину. Что из того, что Чехов посыпал пеплом главу и публично признал себя "виноватым", если внутренне он остался неизменным? Если в то время, когда он на словах признавал общую идею богом (правда, с маленькой буквы), он ровно ничего не сделал для нее. На словах воскуривает фимиам "богу", на деле проклиная его. Прежде, до болезни, "мировоззрение" приносило ему радость, теперь -- разлетелось в клочья! Не естественно ли поставить вопрос: да приносило ли ему "мировоззрение" когда бы то ни было радость? Может быть, радости имели свой собственный, автономный источник; а мировоззрение приглашалось только в качестве свадебного генерала, для внешней торжественности, и никогда никакой существенной роли не играло? Чехов обстоятельно рассказывает о том, какие радости ему приносили научные работы, занятия с учениками, семья, хороший обед и так далее. При всем этом присутствовало и мировоззрение с идеей, и не только не мешало, но как будто бы украшало жизнь. Так что казалось, что ради идеи и работаешь, и семью создаешь, и обедаешь. А теперь, когда приходится ради идеи бездействовать, мучиться, не спать по ночам, с отвращением глотать постылые куски, мировоззрение разлетелось в клочья! Выходит, стало быть, мировоззрение с обедом годится, обед без мировоззрения тоже годится (это доказательства не требует), а мировоззрение *an und für sich* не имеет никакой цены... В этом сущность приведенных слов Чехова. Он с ужасом признает в себе присутствие такой "новой" мысли. Ему кажется, что это только он такой слабый и ничтожный человек, что всем другим -- хлебом не корми -- только подавай идеи и мировоззрения... Так оно, собственно, и выходит, если поверить тому, что люди в книгах рассказывают... Чехов всячески бичует, мучает и терзает себя, но дела изменить не может. Хуже того. Мировоззрения и идеи, к которым очень многие относятся довольно равнодушно, -- в сущности, другого отношения эти невинные вещи и не заслуживают, -- становятся для Чехова предметом тяжелой, неумолимой и беспощадной ненависти. Он не умеет сразу освободиться от власти идей и потому начинает долгую, упорную и медленную, я бы сказал, партизанскую войну с поработившими его тиранами. Борьба его в общем и в отдельных эпизодах представляет большой захватывающий интерес именно вследствие того, что еще до сих пор наиболее видные представители литературы убеждены, что идеям присуща чудодейственная сила. Чем занимается большинство писателей? Строят мировоззрения -- и полагают при этом, что занимаются необыкновенно важным, священным делом! Чехов оскорбил очень

многих деятелей литературы. Если его все-таки относительно щадили, то это произошло, во-первых, оттого, что он был очень осторожен и воевал с таким видом, как будто приносил дань врагу, а во-вторых, таланту многое прощается.

#### IV

Содержание "Скучной истории", таким образом, сводится к тому, что профессор, делясь своими "новыми" мыслями, в сущности, заявляет, что он не находит возможным признать над собой власть "идеи" и добросовестно выполнить то, что люди называют высшей целью, и в служении чему принято видеть назначение, святое назначение человека. "Пусть меня судит Бог, -- у меня не хватает мужества поступить по совести", -- вот единственный ответ, который находит в своей душе Чехов на все требования "мировоззрения". И такое отношение к мировоззрению становится второй природой Чехова. Мировоззрение требует, человек признает справедливость требований и методически не исполняет ни одного из них. Причем признание справедливости требований постепенно идет на убыль. В "Скучной истории" идея еще судит человека и терзает его с той беспощадностью, которая свойственна всему неживому и неодухотворенному. Точно заноза, вбившаяся в живое тело, чуждая и враждебная организму, идея безжалостно выполняет свою высокую миссию -- до тех пор, пока у человека не созревает твердая решимость вырвать ее из себя, как бы болезненна ни была эта трудная операция. Уже в "Иванове" роль идеи меняется. Уже не она преследует Чехова, а Чехов преследует ее самыми отборными насмешками и презрением. Голос живой природы берет верх над наносными культурными привычками. Правда, борьба еще продолжается, если угодно, даже ведется с переменным счастьем. Но прежней покорности нет. Все больше и больше Чехов эмансипируется от прежних предрассудков и идет -- куда? На этот вопрос он едва ли умел бы ответить. Но он предпочитает оставаться без всякого ответа, чем принять какой бы то ни было из традиционных ответов. "Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, меня теперь должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой замогильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум сознает всю их важность". Ум снова, в противоположность тому, что было раньше, почтительно выталкивается за дверь, и его права передаются "душе", темному, неясному стремлению, которому Чехов теперь, когда он стоит перед роковой чертой, отделяющей человека от вечной тайны, инстинктивно доверяет больше, чем светлomu, ясному сознанию, наперед предопределяющему даже замогильные перспективы. Научная философия возмутится? Чехов подкапывается под незыблемейшие ее устои? Но ведь Чехов надорвавшийся, ненормальный человек. Его можно не слушать, но раз вы уж решили его выслушать, нужно наперед быть ко всему готовым. Нормальный человек, если он даже метафизик самого крайнего, заоблачного толка, всегда пригоняет свои теории к нуждам минуты; он разрушает лишь затем, чтобы потом вновь строить из прежнего материала. Оттого у него никогда не бывает недостатка в материале. Покорный основному человеческому закону, уже давно отмеченному и формулированному мудрецами, он ограничивает и довольствуется скромной ролью искателя форм. Из железа, которое он находит в природе готовым, он выковывает меч или плуг, копьё или серп. Мысль творить из ничего едва ли даже приходит ему в голову. Чеховские же герои, люди ненормальные *par excellence*, поставлены в противоестественную, а потому страшную, необходимость творить из ничего. Пред ними всегда безнадежность, безысходность, абсолютная невозможность какого бы то ни было дела. А меж тем они живут, не умирают...

Тут является любопытный и необыкновенно важный вопрос. Я сказал, что противно человеческой натуре творить из ничего. Но вместе с тем природа часто отнимает у человека готовый материал и вместе с тем повелительно требует от него творчества.

Значит ли это, что природа противоречит самой себе? Что она извращает свои создания? Не правильнее ли допустить, что понятие об извращении имеет чисто человеческое происхождение? Может быть, природа гораздо экономнее и мудрее наших мудрецов и, может быть, мы узнали бы гораздо больше, если бы, взамен того, чтоб делить людей на лишних и нелишних, полезных и вредных, добрых и злых, мы, подавив в себе на время склонность к субъективной оценке, попытались бы доверчивей отнестись к ее творениям? А то сейчас "недобрые огоньки", кладоискатель, кудесник, колдун -- и воздвигается между людьми стена, которую не только логическими доводами, но и пушками не разобьешь. Я мало надеюсь, что приведенное соображение покажется убедительным для тех, кто привык охранять норму. Да, вероятно, и не нужно, чтобы сгладилось живущее между людьми представление о принципиальной противоположности добра и зла, как не нужно, чтобы молодые рождались с жизненным опытом взрослых, чтоб исчезли с лица земли румянец и черные кудри. Во всяком случае, это невозможно. Много тысячелетий насчитывает мир, много народов жило и умирало на земле, но, насколько мы знаем по сохранившимся книгам и преданиям, спор добра со злом никогда не прекращался. И всегда было так, что добро не боялось дневного света, что добрые жили общественной, объединенной жизнью, а зло пряталось во мраке, и злые всегда были одинокими. Иначе и быть не может.

Чеховские герои все боятся света, чеховские герои -- одиноки. Они стыдятся своей безнадежности и знают, что люди им не могут помочь. Они идут куда-то, может быть, и вперед, но никого за собой не зовут. У них все отнято, и они все должны создать. Вероятно, отсюда то нескрываемое презрение, с которым они относятся к наиболее ценным продуктам обыкновенного человеческого творчества. О чем бы вы ни заговорили с чеховским героем, у него на все один ответ: меня никто не может ничему научить. Вы предлагаете ему новое мировоззрение, но он с первых слов ваших уже чувствует, что все оно сводится к попытке на новый манер переложить старые кирпичи и камни, и нетерпеливо, часто грубо, отворачивается от вас. Чехов крайне осторожный писатель. Он боится общественного мнения и считается с ним. И все-таки, какую нескрываемую брезгливость проявляет он к принятым идеям и мировоззрениям. В "Скучной истории" он, по крайней мере, сохраняет внешне почтительный тон и позу. Впоследствии он бросает всякие предосторожности и, вместо того чтобы упрекать себя в неспособности покориться общей идее, открыто возмущается и даже высмеивает ее. Уже в "Иванове" это выражено в достаточной степени -- недаром эта драма в свое время вызвала такую бурю негодования. Иванов, как я уже говорил, поконченный человек. Все, что может сделать с ним художник, -- это прилично похоронить его, т. е. похвалить его прошлое, пожалеть о настоящем и затем, чтобы смягчить безотрадное впечатление, производимое смертью, -- пригласить на похороны общую идею. Можно вспомнить о мировых задачах человечества в какой-либо из бесчисленных готовых форм -- и трудный, казавшийся неразрешимым, случай устранен. Наряду с умирающим Ивановым следовало бы нарисовать светлую, молодую, многообещающую жизнь, и впечатление смерти и разрушения потеряло бы всю свою остроту и горечь. Но Чехов поступает прямо обратно: вместо того чтобы дать молодости и идее власть над разрушением и смертью, как то делалось во всех философских системах и во многих художественных произведениях, он демонстративно делает центром всех событий ни на что не годную развалину Иванова. Наряду с Ивановым есть молодые жизни, идее тоже дан свой представитель. Но молодая Саша, прелестная и обаятельная девушка, всей душой полюбившая разбитого героя, не только не спасает своего возлюбленного, но сама гибнет под бременем непосильной задачи. А идея? Достаточно вспомнить только фигуру доктора Львова, которому Чехов доверил ответственную роль представителя всемогущей властительницы, и вы сразу поймете, что он считает себя не подданным и данником ее, а злейшим врагом. Стоит доктору Львову разинуть рот, и все действующие лица, точно сговорившись, наперерыв самым оскорбительным образом торопятся

оборвать его -- насмешками, угрозами, чуть ли не подзатыльниками. А между тем юный доктор исполняет свои обязанности представителя великой державы не менее умело и добросовестно, чем его предшественники -- Стародумы и другие почтенные герои старинной драмы. Он вступает за обиженных, хочет восстановить поправленные права, возмущается неправдой и т. д. Разве он вышел за пределы своих полномочий? Нет, конечно. Но там, где царствуют Ивановы и безнадежность, нет и не может быть места для идеи.

Вместе жить им невозможно. И на глазах у изумленного читателя, привыкшего думать, что все царства могут пасть и погибнуть, и что лишь мощь царства идеи несокрушима *in saecula saeculorum* {во веки веков (лат.)}, происходит неслыханное зрелище, идея свергается с трона беспощадным, разбитым, ни на что не годным человеком! Чего только не говорил Иванов! Уже с первого действия он выпаливает такую тираду, и не перед первым встречным, а перед олицетворенной идеей -- Стародумом-Львовым: "Я имею право вам советовать. Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков. Вообще всю жизнь стройте по шаблону. Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены. Да хранит вас Бог от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей... Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, Богом данное дело... Это теплее, честнее и здоровее". Доктор Львов, представитель всемогущей, самодержавной идеи, чувствует, что его повелительница оскорблена в своих державных правах, что терпеть подобные оскорбления значит фактически отказаться от суверенитета. Ведь Иванов был и должен оставаться вассалом. Как повернулся у него язык советовать, как смел он возвысить голос там, где он должен был благоговейно слушать и безмолвно, безропотно повиноваться?! Ведь это бунт! Львов пытается выпрямиться во весь рост и с достоинством ответить дерзкому мятежнику. Но у него ничего не выходит. Дрожсащим, нетвердым голосом он бормочет привычные слова, которые еще так недавно имели всепобеждающую силу. Но они не оказывают обычного действия. Их сила ушла. Куда? Львов даже и признаться себе не смеет: к Иванову. И это уже ни для кого больше не тайна. Каких бы подлостей и гадостей ни наделал Иванов, -- а Чехов не скупится в этом смысле, и в послужном списке его героя значатся всевозможные преступления, вплоть до почти сознательного убийства преданной ему женщины, -- все же перед ним, а не перед Львовым склоняется общественное мнение. Иванов -- дух разрушения, грубый, резкий, безжалостный, ни перед чем не останавливающийся. А слово "подлец", которое с мучительным усилием вырывает из себя и посылает ему доктор, к нему не пристает. Он как-то прав, своей особенной, никому не понятной, но бесспорной, если верить Чехову, правотой. Саша, молодое, чуткое, даровитое существо, идет к нему поклониться, равнодушно минуя фигуру честного Стародума-Львова. Вся драма на этом построена. Иванов, правда, под конец стреляется -- и это, если угодно, может дать формальное основание думать, что окончательная победа все-таки осталась за Львовым. И Чехов хорошо сделал, что так закончил пьесу, -- не затягивать же ее до бесконечности. А досказать историю Иванова дело не легкое. Чехов потом еще 15 лет писал, все досказывал недосказанное, а все-таки пришлось оборвать, не дойдя до конца...

Тот, кто вздумал бы обращенные Ивановым к Львову слова истолковывать в том смысле, что Чехов, подобно Толстому времени "Войны и мира", видел в обыденном устройстве жизни свой "идеал", плохо понял бы автора. Чехов только оборонялся против "идеи" и говорил ей самое обидное, что приходило в голову. Ибо что может быть обиднее для идеи, чем выслушивать похвалу обыденности?! Но при случае Чехов умел не менее ядовито обрисовать и обыденность. К примеру, хотя бы рассказ "Учитель словесности". Учитель совсем живет по преподанному Ивановым рецепту. И служба, и жена Манюся -- не еврейка, не психопатка, не синий чулок, -- и дом раковина, и т. д., и все это не мешает

Чехову полегоньку да помаленьку загнать бедного учителя в обычную западно-мышеловку, довести его до такого состояния, что остается только "упасть на пол, кричать и биться головой о пол". У Чехова "идеала" не было, даже идеала обыденности, который с таким неподражаемым, несравненным мастерством воспел в своих ранних произведениях граф Толстой. Идеал предполагает подчинение, добровольный отказ от своих прав на независимость, свободу и силу -- такого рода требования, даже намеки на такого рода требования возбуждали в Чехове всю силу отвращения и омерзения, на которые только он был способен...

V

Итак, настоящий, единственный герой Чехова -- это безнадежный человек. "Делать" такому человеку в жизни абсолютно нечего -- разве колотиться головой о камни. Нет ничего удивительного, что такой человек невыносим для окружающих. Он всюду вносит смерть и разрушение. Он сам это знает, но не в силах сторониться от людей. Он всей душой стремится вырваться из своего ужасного положения. Больше всего его влечет к свежим, молодым, нетронутым существам: он надеется с их помощью вернуть свое утраченное право на жизнь. Напрасная надежда! Начало разрушения всегда оказывается всепобеждающим, и чеховский герой в конце концов остается предоставленным самому себе. У него ничего нет, он все должен создать сам. И вот "творчество из ничего", вернее, возможность творчества из ничего -- единственная проблема, которая способна занять и вдохновить Чехова. Когда он обобрал своего героя до последней нитки, когда герою остается только колотиться головой о стенку, Чехов начинает чувствовать нечто вроде удовлетворения, в его потухших глазах зажигается странный огонь, недаром показавшийся Михайловскому недобрый. Творчество из ничего! Не выходит ли эта задача за пределы человеческих сил, человеческих прав? Для Михайловского, очевидно, не было двух ответов на этот вопрос... Что до самого Чехова, то если бы ему предложили этот вопрос в такой умышленно резкой формулировке, -- он, вероятно, не умел бы на него ответить, хотя постоянно имел с ним дело. Можно, не боясь ошибиться, сказать, что те люди, которые без колебаний отвечают на него в том или ином смысле, никогда близко не подходили к нему, да и вообще ко всем так называемым последним вопросам бытия. Колебание -- необходимый составной элемент в суждениях человека, которого судьба подводила к роковым задачам. Как дрожала рука у Чехова, когда он дописывал заключительные строки своей "Скучной истории"! Воспитанница профессора -- самое близкое и дорогое ему, но такое же надорванное, потерявшее надежды, хотя еще молодое, существо -- приехала к нему за советом в Харьков. И вот между ними происходит следующий разговор:

"-- Николай Степанович! -- говорит она, бледная и сжимаемая на груди руки. -- Николай Степанович! Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного Бога, скажите скорей, сию минуту, что мне делать? Говорите, что мне делать?"

-- Что же я могу сказать? -- недоумеваю я. -- Ничего я не могу.

-- Говорите, умоляю вас! -- продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. -- Клянусь вам, что я не могу дольше так жить. Сил моих нет!

Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топчет ногами; шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась.

-- Помогите мне, помогите! -- умоляет она. -- Не могу я дольше!

-- Ничего я не могу сказать тебе, Катя, -- говорю я.

-- Помогите! -- рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. -- Ведь вы мой отец, мой единственный друг. Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителем! Говорите же, что мне делать?

-- По совести, Катя, не знаю.

*Я растерялся, сконфузился, тронут рыданиями Кати и едва стою на ногах.  
-- Давай, Катя, завтракать, -- говорю я, натянуто улыбаясь. -- Будет плакать!  
И тотчас же прибавляю упавшим голосом:  
-- Меня скоро не станет, Катя...  
-- Хоть одно слово, хоть одно слово! -- плачет она, протягивая ко мне руки..."*

*Но этого слова не нашлось у профессора. Он переводит разговор на погоду, Харьков и прочие безразличные вещи. Катя встает и, не глядя на него, протягивает ему руку. "Мне хочется спросить, -- кончает он свой рассказ, -- значит, на похоронах у меня не будешь? Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая... Я молча провожаю ее до дверей. Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется. Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!"... "Не знаю", только этими словами умеет ответить на вопрос Кати умный, образованный, долго живший, всю жизнь свою бывший учителем Николай Степанович! Во всем его огромном опыте прошлых лет не находится ни одного приема, правила или совета, который бы хоть сколько-нибудь соответствовал дикой несообразности новых условий его собственного и Катиного существования. Катя не может больше так жить, но и он сам не может дольше выносить своей отвратительной и позорной беспомощности. Они оба -- он старый, она молодая -- оба всей душой хотели бы поддержать друг друга, и оба ничего не умеют придумать. На ее "что мне делать" он отвечает: "меня скоро не станет", т. е. вопросом же; на его "меня скоро не станет" она отвечает безумным рыданием, ломанием рук и нелепым повторением одних и тех же слов. Лучшее было бы ни о чем не спрашивать, не начинать "душевного", откровенного разговора. Но они еще в этом не дали себе отчета. В их прежней жизни разговор облегчал, откровенные признания сближали. Теперь наоборот: после такого свидания люди уже не в состоянии выносить друг друга. Катя уходит от старого профессора, от своего приемного, от своего родного отца и друга с сознанием, что он ей стал чужим. Она даже, уходя, не обернулась к нему. Оба почувствовали, что им осталось только колотиться головой о стену. В этом занятии каждый действует за свой страх, и об утешающем единении душ уже нельзя мечтать...*

## VI

*Чехов знал, до чего он договорился в "Скучной истории" и в "Иванове". Некоторые критики тоже знали и поставили ему это на вид. Не берусь сказать, что именно -- боязнь ли общественного мнения, или ужас перед сделанными открытиями, или то и другое вместе, но, очевидно, у Чехова был момент, когда он решился во что бы то ни стало покинуть занятую им позицию и повернуть назад. Плодом такого решения была "Палата № 6". В этом рассказе действующим лицом является все тот же, знакомый нам, чеховский человек, доктор. И обстановка довольно привычная, хотя несколько измененная. В жизни доктора ничего особенного не произошло. Он попал в провинциальную дыру и постепенно, все сторонясь от людей и жизни, дошел до состояния совершенной безвольности, которая в его представлении стала идеалом человеческого существования. Он ко всему равнодушен, начиная со своей больницы, в которой он почти не бывает, где царствует пьяный и грубый фельдшер, где обирают, залечивают больных.*

*В психиатрическом отделении хозяйничает сторож из отставных солдат, справляющийся кулаками с беспокойными пациентами. Доктору -- все равно, точно он живет где-то далеко, в ином мире, и не понимает того, что происходит на его глазах. Случайно попадает он в психиатрическое отделение и вступает в беседу с одним из больных. Больной жалуется ему на порядки, точнее, на отвратительные беспорядки в отделении. Доктор спокойно выслушивает его слова, но реагирует на них не делом, а*

словами же. Он пытается доказать своему сумасшедшему собеседнику, что внешние условия не могут на нас иметь никакого влияния. Сумасшедший не соглашается, говорит ему дерзости, представляет возражения, в которых, как в мыслях многих помешанных, наряду с бессмысленными утверждениями встречаются очень глубокие замечания. Даже, пожалуй, первых очень мало, так что по разговору и не догадаешься, что имеешь дело с больным. Доктор в восторге от своего нового знакомства, но пальцем о палец не ударит, чтоб облегчить чем-нибудь его. Теперь, как и прежде, несчастный находится во власти сторожа, который, при малейшем неповиновении, бьет его. Больной, доктор, окружающие, вся обстановка больницы и квартиры доктора описаны с удивительным талантом. Все настраивает к абсолютному несопротивлению и фаталистическому равнодушию: пусть пьянствуют, дерутся, грабят, насильничают -- все равно, так, видимо, предопределено на высшем совете природы. Исповедуемая доктором философия бездействия точно подсказана и напечатана неизменными законами человеческого существования. Кажется, нет сил вырваться из ее власти. До сих пор все более или менее в чеховском стиле. Но конец -- совсем иного рода. Доктор сам, благодаря интригам своего коллеги, попадает в психиатрическое отделение больницы в качестве пациента. Его лишают свободы, запирают в больничном флигеле и даже бьют, бьет тот самый сторож, с которым он учил мириться своего сумасшедшего собеседника и на глазах у этого собеседника. Доктор мгновенно пробуждается точно от сна. В нем является жажда борьбы, протеста. Правда, он тут же умирает, но идея все-таки торжествует. Критика могла считать себя вполне удовлетворенной -- Чехов открыто покаялся и отрекся от теории непротивления. И, кажется, "Палату No 6" в свое время очень сочувственно приняли. Кстати прибавим, что доктор умирает очень красиво: в последние минуты видит стадо оленей и т. п.

И в самом деле, построение рассказа не оставляет сомнения. Чехов хотел уступить и уступил. Он почувствовал невыносимость безнадежности, невозможность творчества из ничего. Колотиться головой о камни, вечно колотиться головой о камни -- это так ужасно, что лучше уже вернуться к идеализму. Оправдалась дивная русская поговорка: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Чехов примкнул к сонму русских писателей и стал воспевать идею. Но -- не надолго! Ближайший по времени рассказ его "Дуэль" носит уже иной характер. Развязка в нем тоже как будто бы идеалистическая, но только как будто бы. Главный герой Лаевский -- "паразит", как все чеховские герои. Он ничего не делает и ничего делать не умеет. Даже не хочет, живет наполовину на чужой счет, входит в долги, соблазняет женщин и т. п. Положение его невыносимое. Живет с чужой женой, которая опостылела ему, как и собственная особа, но от которой он не умеет избавиться, вечно нуждается и кругом в долгах, знакомые его не любят и презирают. Он всегда так чувствует себя, что готов бежать без оглядки, все равно куда, лишь бы уйти с того места, где он сейчас живет. И его незаконная жена приблизительно в таком же, если не более ужасном, состоянии. Неизвестно зачем, без любви, даже без влечения, она отдается первому встречному пошляку. Потом ей кажется, что ее с ног до головы облили грязью, и эта грязь так пристала к ней, что не смоешь даже целым океаном воды. И вот такая парочка живет на свете, в глухом городке Кавказа, и естественно привлекает внимание Чехова. Тема интересная, что и говорить: два облитых грязью человека, не выносящих ни себя, ни других...

Для контраста Чехов сталкивает Лаевского с зоологом фон Кореном, приехавшим в приморский город по важному, всеми признаваемому важному, делу -- изучать эмбриологию медузы. Фон Корен, как видно по фамилии, из немцев, стало быть, нарочито здоровый и нормальный, чистый человек, потомок гончаровского Штольца, прямая противоположность Лаевскому, в свою очередь, состоящему в близком родстве со стариком Обломовым. Но у Гончарова противопоставление Обломову Штольца имело совсем иной характер и смысл, чем у Чехова. Романист 40-х годов<sup>10</sup> надеялся, что сближение с западной культурой обновит и воскресит Россию. И сам Обломов изображен

не совсем еще безнадежным человеком. Он только ленив, неподвижен, непредприимчив. Кажется, проснись он -- он десяток Штольцев за пояс заткнет. Иное дело Лаевский. Этот уже проснулся, давно проснулся, -- но его пробуждение не принесло с собой добра... "Природы он не любит, Бога у него нет, все доверчивые девочки, которых он знал, сгублены им или его сверстниками, в родном саду своем он за всю жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки, а живя среди живых, не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал, лгал". Добродушный увалень Обломов выродился в отвратительную и страшную гадину. А чистый Штольц жив и остался в своих потомках чистым! Только с новыми Обломовыми он уже иначе разговаривает. Фон Корен называет Лаевского негодяем и мерзавцем и требует к нему применения самых строгих кар. Помирить Корена с Лаевским невозможно. Чем чаще им приходится сталкиваться меж собой, тем глубже, неумолимей и беспощадней они ненавидят друг друга. Вместе жить им на земле нельзя. Одно из двух: либо нормальный фон Корен, либо вырожденец декадент Лаевский. Причем вся внешняя, материальная сила на стороне фон Корена, конечно. Он всегда прав, всегда побеждает, всегда торжествует и в поступках своих, и в теориях. Любопытная вещь: Чехов -- непримиримый враг всякого рода философии. Ни одно из действующих лиц в его произведениях не философствует, а если философствует, то обыкновенно неудачно, смешно, слабо, неубедительно. Исключение представляет фон Корен, типический представитель позитивно-материалистического направления. Его слова дышат силой, убеждением. В них есть даже пафос и максимум логической последовательности. В рассказах Чехова много героев-материалистов, но с оттенком скрытого идеализма, по выработанному в 60-х годах шаблону. Таких Чехов держит в черном теле и высмеивает. Идеализм во всех видах, явный и тайный, вызывал в Чехове чувство невыносимой горечи. Ему легче было выслушивать беспощадные угрозы прямолинейного материализма, чем принимать художочные утешения гуманизирующего идеализма. Есть в мире какая-то непобедимая сила, давящая и уродующая человека, -- это ясно до осязаемости. Малейшая неосторожность, и самый великий, как и самый малый, становится ее жертвой. Обманывать себя можно только до тех пор, пока знаешь о ней только понаслышке. Но кто однажды побывал в железных лапах необходимости, тот навсегда утратил вкус к идеалистическим самообольщениям. Он уже не уменьшает -- он скорей склонен преувеличивать силу врага. А чистый, последовательный материализм, который проповедует фон Корен, наиболее полно выражает нашу зависимость от стихийных сил природы. Фон Корен говорит, точно молотом бьет, и каждый его удар попадает не в Лаевского, а в Чехова, в самые больные места его. Он дает Корену все больше и больше сил, он сам подставляет себя под его удары. Зачем? Почему? А вот подите же! Может быть, жила в Чехове тайная надежда, что самоистязание для него единственный путь к новой жизни? Он этого нам не сказал. Может, и сам не знал, а может быть, боялся оскорбить позитивистический идеализм, так безраздельно властвующий в современной литературе. Он не смел еще выступить против европейского общественного мнения -- ведь наши философские мировоззрения не нами выдуманы, а занесены к нам из Европы! И чтобы не спорить с людьми, он придумал для своего страшного рассказа шаблонную, утешительную развязку. В конце рассказа Лаевский "исправляется", женится на своей любовнице, бросает беспутную жизнь и начинает старательно переписывать бумаги, чтобы уплатить долги. Нормальные люди могут быть вполне удовлетворены, ибо нормальные люди в басне читают только последние строчки -- мораль, а мораль "Дуэли" самая здоровая: Лаевский исправился и стал бумаги переписывать. Правда, может показаться, что такого рода конец больше похож на насмешку над моралью, но нормальные люди не слишком проницательные психологи; они боятся двойственности и с присущей им "искренностью" все слова писателя принимают за чистую монету. В добрый час!

Единственная философия, с которой серьезно считался и потому серьезно боролся Чехов, был позитивистический материализм. Именно позитивистический, т. е. ограниченный, не претендующий на теоретическую законченность. Всем существом своим Чехов чувствовал страшную зависимость живого человека от невидимых, но властных и явно бездушных законов природы, а ведь материализм, в особенности научный материализм, сдержанный, не гоняющийся за последним словом и логической закругленностью, целиком сводится к обрисовке внешних условий нашего существования. Ежедневный, ежечасный, даже ежеминутный опыт убеждает нас, что одинокий, слабый человек, сталкиваясь с законами природы, постоянно должен приспособляться и уступать, уступать, уступать. Нельзя старому профессору вернуть свою молодость, нельзя надорвавшемуся Иванову скрепить себя, нельзя Лаевскому отмыть облепившую его грязь и т. д. без конца ряд неумолимых, чисто материалистических "нельзя", против которых человеческий гений не умеет выставить ничего, кроме покорности или забвения. *Résigne-toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute* -- иных слов мы не найдем пред лицом картин, развернувшихся в чеховских произведениях. Покорность внешняя, а под ней затаенная, тяжелая, злобная ненависть к неведомому врагу. Сон, забвение только кажущиеся -- ибо разве спит, разве забывается человек, который свой сон называет *sommeil de brute*? Но как быть иначе? Бурные протесты, которыми наполнена "Скучная история", потребность излить наружу накопившееся негодование скоро начинают казаться ненужными и даже оскорбительными для человеческого достоинства. Последняя протестующая пьеса Чехова -- "Дядя Ваня". Дядя Ваня, как старый профессор, как Иванов, бьет в набат, поднимает неслыханную тревогу по поводу своей загубленной жизни. Тоже не своим голосом он вопит на всю сцену: пропала жизнь, пропала жизнь, -- точно и в самом деле кто-нибудь из окружающих его людей, кто-нибудь во всем мире может быть в ответе по поводу его беды. Ему мало крика и воплей. Он осыпает оскорблениями родную мать. Как безумный, без всякой цели, без всякой нужды он начинает палить из револьвера в своего воображаемого врага, жалкого и несчастного старика, отца некрасивой Сони. Собственного голоса ему мало, и он прибегает к револьверу. Он готов был бы палить из всех пушек, какие есть на свете, бить во все барабаны, звонить во все колокола. Ему кажется, что все люди, весь мир спит, что нужно разбудить ближних. Он готов на какую угодно нелепость, ибо разумного выхода для него нет, а сразу признаться, что нет выхода, -- на это ни один человек не способен. И начинается чеховская история: примириться невозможно, не примириться тоже невозможно, остается колотиться головой о стену. Сам дядя Ваня проделывает это открыто, на людях, но как потом больно ему вспоминать о своей невоздержанной откровенности! Когда все разъезжаются после бессмысленной и мучительной сцены, дядя Ваня понимает, что молчать нужно было, что нельзя признаваться никому, даже самому близкому человеку в известных вещах. Посторонний глаз не выносит зрелища безнадежности. "Проворонил жизнь" -- пеняй на себя: ты уже больше не человек, все человеческое тебе чуждо. И ближние для тебя уже не ближние, а чужие. Ты не вправе ни помогать другим, ни ждать от других помощи. Твой удел -- абсолютное одиночество. Понемногу Чехов убеждается в этой "истине": дядя Ваня -- последний опыт шумного, публичного протеста, вызывающей "декларации прав". Даже и в этой пьесе неистовствует один дядя Ваня -- хотя в числе действующих лиц есть и доктор Астров, и бедная Соня, которые тоже вправе были бы бушевать и даже из пушек палить. Но они молчат. Они даже повторяют какие-то хорошие, ангельские слова на тему о счастливом будущем человечества, -- иначе выражаясь, они удвоенно молчат, ибо в устах таких людей "хорошие слова" обозначают совершенную оторванность от мира; они ушли от всех и никого к себе не подпускают. Хорошими словами они, как китайской стеной, оградили себя от любопытства и любознательности ближних.

Снаружи они похожи на всех, -- значит, внутренней их жизни никто коснуться не смеет...

Какой смысл, какое значение этой напряженной внутренней работы поконченных людей? Чехов, вероятно, на этот вопрос ответил бы теми же словами, какими Николай Степанович отвечал на вопросы Кати: "Не знаю". Больше бы он ничего не прибавил. Но эта жизнь, большая похожая на смерть, чем на жизнь, -- она одна только привлекала и занимала его. Оттого и речь его из году в год становилась тише и медлительнее. Среди наших писателей Чехов -- тишайший писатель. Вся энергия героев его произведений направлена вовнутрь, а не наружу. Они ничего видимого не создают, хуже того -- они все видимое разрушают своей внешней пассивностью и бездействием. "Положительный мыслитель" вроде фон Корена без колебания клеймит их страшными словами, тем более довольный собой и своей справедливостью, чем больше энергии вкладывает он в свои выражения. "Мерзавцы, подлецы, вырождающиеся, макаки" и т. д., -- чего только ни придумал фон Корен по поводу Лаевских! Явный положительный мыслитель хочет принудить Лаевского переписывать бумаги. Неявные положительные мыслители, т. е. идеалисты и метафизики, бранных слов не употребляют. Зато они заживо хоронят чеховских героев на своих идеалистических кладбищах, именуемых мировоззрениями. Сам же Чехов от "разрешения вопроса" воздерживается с настойчивостью, которой большинство критиков, вероятно, желало бы лучшей участи, и продолжает свои длинные, бесконечно длинные рассказы о людях, о жизни людей, которым нечего терять -- точно в мире только и было интересного, что это кошмарное висение между жизнью и смертью. О чем говорит оно нам? О жизни, о смерти? Опять нужно ответить "не знаю", теми словами, которые возбуждают наибольшее отвращение положительных мыслителей, но которые загадочным образом являются постоянным элементом в суждениях чеховских людей. Оттого им так близка враждебная и материалистическая философия. В ней нет ответа, обязывающего к радостной покорности. Она бьет, уничтожает человека, -- но она не называет себя разумной, не требует себе благодарности, ей ничего не нужно, ибо она бездушна и бессловесна. Ее можно признавать и вместе ненавидеть. Удастся справиться с ней человеку -- он прав; не удастся -- *vae victis!* {горе побежденным! {лат.}.} Как отрадно звучит голос откровенной беспощадности неодушевленной, безличной, равнодушной природы сравнительно с лицемерно-сладкими напевами идеалистических, человеческих мировоззрений! А затем, и это самое главное, с природой все-таки возможна борьба! И в борьбе с природой все средства разрешаются. В борьбе с природой человек всегда остается человеком и, стало быть, правым, что бы он ни предпринял для своего спасения. Даже если бы он отказался признать основной принцип мироздания -- неуничтожимость материи и энергии, закон инерции и т. д. Ибо самая колоссальная мертвая сила должна служить человеку, кто станет оспаривать это? Иное дело "мировоззрение"! Прежде чем изречь слово, оно ставит неоспоримое требование: человек должен служить идее. И это требование считается мало того, что само собою разумеющимся -- еще необыкновенно возвышенным. Удивительно ли, что в выборе между идеализмом и материализмом Чехов склонился на сторону последнего -- сильного, но честного противника? С идеализмом можно бороться только презрением, и в этом смысле сочинения Чехова не оставляют ничего желать... Как бороться с материализмом? И можно ли его победить? Может быть, читателю покажутся странными приемы Чехова, но, очевидно, он пришел к убеждению, что есть только одно средство борьбы, к которому прибегали уже древние пророки: колотиться головой о стену. Без грома, без пальбы, без набата, одиноко и молчаливо, вдали от ближних, своих и чужих, собрать все силы отчаяния для бессмысленной и давно осужденной наукой и здравым смыслом попытки. Но разве от Чехова вы вправе были ждать санкции научной методологии? Наука отняла у него все: он осужден на творчество из ничего, т. е. на такое дело, на которое нормальный человек, пользующийся только нормальными

приемами, абсолютно неспособен. Чтобы сделать невозможное, нужно прежде всего отказаться от рутинных приемов. Как бы упорно мы ни продолжали научные изыскания, они не дадут нам жизненного эликсира. Ведь наука с того и начала, что отбросила как принципиально недостижимое стремление к человеческому всемогуществу: ее методы таковы, что успехи в одних областях исключают даже искания в других. Иначе говоря, научная методология определяется характером задач, поставляемых себе наукой. И действительно, ни одна из ее задач не может быть достигнута колочением головой о стену. Этот, хотя и не новый, метод (повторяю, его уже знали, им пользовались пророки) для Чехова и его героев обещает больше, чем все индукции и дедукции (к слову сказать, тоже не выдуманные наукой, а существующие с основания мира). Он подсказывает человеку таинственным инстинктом и каждый раз, когда в нем является надобность, он является на сцену. А что наука осуждает его, в этом нет ничего странного. Он, в свою очередь, осуждает науку.

### VIII

Теперь, может быть, станет понятным дальнейшее развитие и направление чеховского творчества, и то, характерное у него и не повторяющееся у других, сочетание "трезвого" материализма с фанатическим упорством в искании новых, всегда окольных и проблематических путей. Он, как Гамлет, хочет подвести под своего противника "подкоп аршином глубже" II, чтобы разом взорвать на воздух и инженера, и его строение. Терпение и выдержка его при этой тяжелой подземной работе прямо изумительны и для многих невыносимы. Везде тьма, ни одного луча, ни одной искры, а Чехов идет вперед медленно, едва-едва подвигаясь. Неопытный, нетерпеливый взор, может быть, совсем и не заметит движения. Да, пожалуй, и сам Чехов не знает наверное, подвигается ли он вперед или топчется на одном месте. Рассчитывать вперед нельзя. Нельзя даже и надеяться. Человек вступил в ту полосу своего существования, когда разум, загадывающий вперед и ободряющий, отказывает в своих услугах. Нет возможности составить себе ясное и отчетливое представление о происходящем. Все принимает фантастически бессмысленную окраску. Всему веришь и не веришь. В "Черном монахе" Чехов рассказывает о новой действительности и таким тоном, как будто сам недоумевает, где кончается действительность и начинается фантасмагория. Черный монах влечет молодого ученого куда-то в таинственную даль, где должны осуществиться лучшие мечты человечества. Окружающие люди называют монаха галлюцинацией и борются с ним медицинскими средствами -- бромом, усиленным питанием, молоком. Сам Коврин не знает, кто прав. Когда он беседует с монахом, ему кажется, что прав монах, когда он видит перед собой рыдающую жену и серьезные, встревоженные лица докторов, он признается, что находится во власти навязчивых идей, ведущих его прямым путем к помешательству. Побеждает в конце концов черный монах, Коврин не в силах выносить окружающую его обыденность, разрывает с женой и ее родными, которые ему кажутся палачами, и идет куда-то, но не приходит на наших глазах никуда. Под конец рассказа он умирает, чтоб дать автору право поставить точку. Это всегда так бывает: когда автор не знает, что делать с героем, он убивает его. Вероятно, рано или поздно этот прием будет оставлен. Вероятно, в будущем писатели убедят себя и публику, что всякого рода искусственные закругления -- вещь совершенно не нужная. Истоцился материал -- оборви повествование, хотя бы на полуслове. Чехов иногда так и делал, -- но только иногда. Большей же частью он предпочитал, во исполнение традиционных требований, давать читателям развязку. Этот прием не так безразличен, как может показаться на первый взгляд, ибо он вводит в заблуждение. Взять хотя бы "Черного монаха". Смерть героя является как бы указанием, что всякая ненормальность, по мнению Чехова, ведет обязательно через нелепую жизнь к нелепой смерти. Меж тем едва ли Чехов был твердо в этом убежден.

По-видимому, он чего-то ждал от ненормальности и оттого уделял так много внимания выбитым из колеи людям. К прочным, определенным заключениям он, правда, не пришел -- несмотря на все напряжение творчества. Он убедился, что выхода из запутанного лабиринта нет, что лабиринт, неопределенные блуждания, вечные колебания и шатания, беспричинное горе, беспричинные радости, -- словом, все, чего так боятся и избегают нормальные люди, стало сущностью его жизни. Об этом и только об этом нужно рассказывать. Не мы выдумали нормальную жизнь, не мы выдумали ненормальную жизнь. Почему же только первую считают настоящей действительностью?..

Одним из самых характерных для Чехова, а потому и замечательных его произведений должна считаться его драма "Чайка". В ней с наибольшей полнотой получило свое выражение истинное отношение художника к жизни. Здесь все действующие лица либо слепые, боящиеся сдвинуться с места, чтоб не потерять дорогу домой, либо полусумасшедшие, рвущиеся и мятущиеся неизвестно куда и зачем. Знаменитая артистка Аркадина словно зубами вцепилась в свои семьдесят тысяч, свою славу и последнего любовника. Тригорин -- тоже известный писатель, изо дня в день пишет, пишет, не зная, для чего и зачем он это делает. Люди читают и хвалят его произведения, и он не принадлежит себе; он, как перевозчик Марко в сказке, не покладая рук работает, переезжая и перевозя пассажиров с берега на берег. И река, и лодка, и пассажиры до смерти надоели, -- но как от них избавиться? Бросить весла первому встречному -- это решение так просто, но за ним, как в сказке, нужно идти на небо. Не только Тригорин, все не слишком молодые люди в сочинениях Чехова напоминают перевозчика Марко. Их дело им явно не нужно, но они, точно загипнотизированные, не могут вырваться из власти чуждой им силы. Однообразный, ровный, унылый ритм жизни усыпил их сознание и волю. Чехов повсюду подчеркивает эту странную и загадочную черту человеческой жизни. У него люди всегда говорят, всегда думают, всегда делают одно и то же. Тот строит дома по раз выдуманному шаблону ("Моя жизнь")<sup>12</sup>, другой с утра до вечера разъезжает по визитам, собирая рубли ("Ионыч"), третий скупает дома ("Три года")<sup>13</sup>. Даже язык действующих лиц умышленно однообразен по поговорке -- заладила сорока Якова твердить про всякова. Кто неизменно, при случае и без случая, твердит "недурственно"<sup>14</sup>, кто "хамство"<sup>15</sup> и т. д. Все однообразны до одурения, и все боятся нарушить это одуряющее однообразие, точно в нем таится источник необычайных радостей. Прочтите монолог Тригорина: "...Давайте говорить... Будем говорить о моей прекрасной жизни... Ну-с, с чего начать? (Подумав немного.) Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть такая своя луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен. Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что это за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорей мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится! Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться -- ан нет: в голове уже ворочается тяжелое, чугунное ядро -- новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить писать и опять писать. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мной, как со здоровым? "Что пишете? Чем нас подарите?" Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение, все это обман, меня обкрадывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне, схватят

и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом". Зачем же все это? Брось весла и начни другую жизнь. Нельзя -- пока с неба не придет ответ, Тригорин не бросит весел, не начнет новой жизни. О новой жизни у Чехова говорят только молодые, очень молодые и неопытные люди. Им все грезится счастье, обновление, свет, радости. Они летят, очертя голову, на огонь и сгорают, как сгорают неразумные бабочки. В "Чайке" Нина Заречная и Треплев, в других произведениях другие герои, женщины и мужчины. Все чего-то ищут, к чему-то стремятся, но все делают не то, что нужно. Все живут врозь, каждый целиком поглощен своею жизнью и равнодушен к жизни других. И странная судьба чеховских героев: они напрягают до последней степени возможности свои внутренние силы, но внешних результатов не получается никаких. Все они жалки. Женщина нюхает табак, неряшливо одета, непричесана, неинтересна. Мужчина раздражается, брюзжит, пьет водку, надоедает окружающим. Говорят нектати, действуют нектати. Приспособить к себе внешний мир не умеют, я готов сказать, не хотят. Материя и энергия сочетаются по собственным законам -- люди живут по собственным, как будто бы материи и энергии совсем и не было. В этом отношении чеховская интеллигенция ничем не отличается от неграмотных мужиков и полуграмотных мещан. В усадьбе живут так же, как и в овраге, как и в деревне. Никто не верит, что, изменив внешние условия, можно изменить и свою судьбу. Везде царит хотя и не сознательное, но глубокое и неискоренимое убеждение, что воля должна быть направлена к целям, ничего общего с устремлением человечества не имеющих. Хуже -- устремление кажется врагом воли, врагом человечества. Нужно портить, грызть, уничтожать, разрушать. Спокойно обдумывать, предугадывать будущее -- нельзя! Нужно колотиться, без конца колотиться головой о стену. К чему это приведет? И приведет ли к чему-нибудь? Конец это или начало? Можно видеть в этом залог нового, нечеловеческого творчества из ничего? "Не знаю", -- ответил старый профессор рыдающей Кате. "Не знаю", -- отвечал Чехов всем рыдающим и замученным людям. Этими и только этими словами можно закончить статью о Чехове. *Résigne-toi, ton coeur, dors ton sommeil de brute.*

#### Примечания

Впервые: Вестник жизни. 1905. No 3. С. 101--142. Перепечатано в сборнике Шестова "Начала и концы" (СПб., 1906). Печатается по: Шестов Л. Соч.: В 2 т. Томск, 1996. Т. 2. С. 184--213.

Шестов Лев (Шварцман Лев Исаакович; 1866--1938) -- философ. В творчестве раннего Шестова, до обретения "почвы" в 1910-х гг., Чехов занимал особое место как единственный писатель, лишенный иллюзий. Кроме данной работы, большие фрагменты о Чехове содержатся в книге Шестова "Апофеоз беспочвенности" (1905).

1 Из стихотворения Бодлера "Le gobit du néant" ("Вкус небытия", стихотворение LXXX во 2-м издании сборника "Цветы зла").

2 В статьях Михайловского о Чехове такой фразы найти не удалось.

3 Аристид (ок. 540--ок. 467 до н. э) -- афинский политический и военный деятель, чье имя стало для классицистов и романтиков синонимом гражданского мужества, справедливости и бескомпромиссности.

4 В 1 части "Фауста" мать Маргариты отдает своему духовнику шкатулку с безделушками, которую поднесли ее дочери Мефистофель и Фауст. См.: Гете. Фауст. М., 1998. С. 151.

5 Влияние Толстого на Чехова особенно оцутимо в период 1887--1890 г. (рассказы "Встреча", "Казак", "Именины" и др.). Отчасти можно говорить, как это делает Шестов, о влиянии "Смерти Ивана Ильича" (1886) на "Скучную историю" (1889). После

поездки на Сахалин, по многим признаниям самого Чехова, это влияние стало убывать. В письме к А. С. Суворину от 27 марта 1894 г. Чехов писал: "...для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя" (П5, 284).

6 происшествия, случаи (фр.). Во французских газетах -- обычное название отдела происшествий.

7 О том, что "Константинополь должен быть наш", Достоевский писал в "Дневнике писателя" (См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 65--74). Над этими высказываниями Достоевского иронизировал, в частности, Михайловский в статье "Жестокий талант" (1882).

8 в себе и для себя, самодостаточное (нем.).

9 по преимуществу (фр.).

10 "Обломов" писался в 1847--1859 гг.

11 Из финала 3 акта. Гамлет клянется, что в ответ на предательство Розенкранца и Гильденстерна подведет под их подкоп другой -- "ярдом глубже" -- и взорвет их.

12 Архитектор Полознев, отец героя.

13 Доктор Белавин.

14 Туркин ("Ионыч").

15 Старик Шелестов ("Учитель словесности").

### I

Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехаться.

Сначала -- это было в апреле -- он поехал к себе, в свою родовую Ковринку, и здесь прожил в уединении три недели; потом, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадях к своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. От Ковринки до Борисовки, где жили Песоцкие, считалось не больше семидесяти верст, и ехать по мягкой весенней дороге в покойной рессорной коляске было истинным наслаждением.

Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самого дома, во дворе и в фруктовом саду, который вместе с питомниками занимал десятин тридцать, было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась еще в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой! Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 из слив -- цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занялся садоводством. Попадались тут и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, как у пальм, стволами, и, только пристально всмотревшись, можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Но что больше всего веселило в саду и придавало ему оживленный вид, так это постоянное движение. От раннего утра до вечера около деревьев, кустов, на аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыгами, лейками...

---

<sup>63</sup> Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати томах. Том восьмой (1892 -- 1894). -- М.: Наука, 1985.

Коврин приехал к Песоцким вечером, в десятом часу. Таню и ее отца, Егора Семеныча, он застал в большой тревоге. Ясное, звездное небо и термометр пророчили мороз к утру, а между тем садовник Иван Карлыч уехал в город и положиться было не на кого. За ужином говорили только об утреннике и было решено, что Таня не ляжет спать и в первом часу пройдет по саду и посмотрит, все ли в порядке, а Егор Семеныч встанет в три часа и даже раньше.

Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семенычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле черный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правильны, точно шеренги солдат, и эта строгая педантическая правильность и то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одинаковые кроны и стволы, делали картину однообразной и даже скучной. Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью.

-- Я еще в детстве чихал здесь от дыма, -- сказал он, пожимая плечами, -- но до сих пор не понимаю, как это дым может спасти от мороза.

-- Дым заменяет облака, когда их нет... -- ответила Таня.

-- А для чего нужны облака?

-- В пасмурную и облачную погоду не бывает утренников.

-- Вот как!

Он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его.

-- Господи, она уже взрослая! -- сказал он. -- Когда я уезжал отсюда в последний раз, пять лет назад, вы были еще совсем дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнил вас цаплей... Что делает время!

-- Да, пять лет! -- вздохнула Таня. -- Много воды утекло с тех пор. Скажите, Андрюша, по совести, -- живо заговорила она, глядя ему в лицо, -- вы отвыкли от нас? Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своею, интересною жизнью, вы величина... Отчуждение так естественно! Но как бы ни было, Андрюша, мне хочется, чтобы вы считали нас своими. Мы имеем на это право.

-- Я считаю, Таня.

-- Честное слово?

-- Да, честное слово.

-- Вы сегодня удивлялись, что у нас так много ваших фотографий. Ведь вы знаете, мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой оттого, что он воспитал вас. Я не мешаю ему так думать. Пусть.

Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по той отчетливости, с какою стали выделяться в воздухе клубы дыма и кроны деревьев. Пели соловьи, и с полей доносился крик перепелов.

-- Однако, пора спать, -- сказала Таня. -- Да и холодно. -- Она взяла его под руку. -- Спасибо, Андрюша, что приехали. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад, -- и больше ничего. Штамб, полуштамб, -- засмеялась она, -- апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка... Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и все-таки понимала.

Она говорила с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться, -- в положении их обоих это так возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмешила его; он нагнулся к милому, озабоченному лицу и запел тихо:

Онегин, я скрывать не стану,

Безумно я люблю Татьяну...

Когда пришли домой, Егор Семеныч уже встал. Коврину не хотелось спать, он разговорился со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семеныч был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой, но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то всё погибло!

-- Вот, брат, история... -- начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух. -- На поверхности земли, как видишь, мороз, а подними на палке термометр сажени на две повыше земли, там тепло... Отчего это так?

-- Право, не знаю, -- сказал Коврин и засмеялся.

-- Гм... Всего знать нельзя, конечно... Как бы обширен ум ни был, всего туда не поместишь. Ты ведь всё больше насчет философии?

-- Да. Читаю психологию, занимаюсь же вообще философией.

-- И не прискучает?

-- Напротив, этим только я и живу.

-- Ну дай бог... -- проговорил Егор Семеныч, в раздумье поглаживая свои седые бакены. -- Дай бог... Я за тебя очень рад... рад, братец...

Но вдруг он прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями, в облаках дыма.

-- Кто это привязал лошадь к яблоне? -- слышался его отчаянный, душу раздирающий крик. -- Какой это мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблоне? Боже мой, боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!

Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.

-- Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом? -- сказал он плачущим голосом, разводя руками. -- Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне! Замотал, подлец, вожжищи туго-натуго, так что кора в трех местах потерлась. Каково! Говорю ему, а он -- толкач толкачом и только глазами хлопает! Повесить мало!

Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.

-- Ну, дай бог... дай бог... -- забормотал он. -- Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад... Спасибо.

Потом он все тою же быстрою походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия.

Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными кренделями -- и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо.

Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия.

## II

В деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь и после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело.

Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. К Песоцким часто, чуть ли не каждый день, приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели; иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову на бок.

Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время Таня -- сопрано, одна из барышень -- контральто и молодой человек на скрипке разучивали известную серенаду Брага. Коврин вслушивался в слова -- они были русские -- и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон.

-- Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда, -- сказал он. -- Не помню, вычитал ли я ее откуда или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии... За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на Дальнем Севере... Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы эта тысяча лет уже на исходе... По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня -- завтра.

-- Странный мираж, -- сказала Таня, которой не понравилась легенда.

-- Но удивительнее всего, -- засмеялся Коврин, -- что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал где? Слышал? Или, быть может, черный монах снился мне? Клянусь богом, не помню. Но легенда меня занимает. Я сегодня о ней целый день думаю.

Отпустив Таню к гостям, он вышел из дому и в раздумье прошелся около клумб. Уже садилось солнце. Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился, не спеша, в парк и незаметно дошел до реки.

По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, беспокоил тут куликов, спугнул двух уток. На угрюмых соснах кое-где еще отсвечивали последние лучи заходящего солнца, но на поверхности реки был уже настоящий вечер. Коврин по лавам перешел на другую сторону. Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодой, еще не цветущей рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря.

"Как здесь просторно, свободно, тихо! -- думал Коврин, идя по тропинке. -- И кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его..."

Но вот по ржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, -- зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контур у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать...

Монах в черной одежде, с седой головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо... Босые ноги его не касались земли. Уже пронесся сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное, худое лицо! Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым.

-- Ну, вот видите ли... -- пробормотал Коврин. -- Значит, в легенде правда.

Не стараясь объяснить себе странное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, приятно взволнованный, он вернулся домой.

В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли, -- значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане и Егору Семенычу, но он сообразил, что они наверное сочтут его слова за бред, и это испугает их; лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело, и все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень интересен.

После ужина, когда уехали гости, он пошел к себе в комнату и лег на диван: ему хотелось думать о монахе. Но через минуту вошла Таня.

-- Вот, Андрюша, почитайте статьи отца, -- сказала она, подавая ему пачку брошюр и оттисков. -- Прекрасные статьи. Он отлично пишет.

-- Ну, уж и отлично! -- говорил Егор Семеныч, входя за ней и принужденно смеясь; ему было совестно. -- Не слушай, пожалуйста, не читай! Впрочем, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай: прекрасное снотворное средство.

-- По-моему, великолепные статьи, -- сказала Таня с глубоким убеждением. -- Вы прочтите, Андрюша, и убедите папу писать почаще. Он мог бы написать полный курс садоводства.

Егор Семеныч напряженно захохотал, покраснел и стал говорить фразы, какие обыкновенно говорят конфузящиеся авторы. Наконец, он стал сдаваться.

-- В таком случае прочти сначала статью Гоше и вот эти русские статейки, -- забормотал он, перебирая дрожащими руками брошюры, -- а то тебе будет непонятно. Прежде чем читать мои возражения, надо знать, на что я возражаю. Впрочем, ерунда... скучища. Да и спать пора, кажется.

Таня вышла. Егор Семеныч подсел к Коврину на диван и глубоко вздохнул.

-- Да, братец ты мой... -- начал он после некоторого молчания. -- Так-то, любезнейший мой магистр. Вот я и статьи пишу, и на выставках участвую, и медали получаю... У Песоцкого, говорят, яблоки с голову, и Песоцкий, говорят, садом себе состояние нажил. Одним словом, богат и славен Кочубей. Но спрашивается: к чему все это? Сад, действительно, прекрасный, образцовый... Это не сад, а целое учреждение, имеющее высокую государственную важность, потому что это, так сказать, ступень в новую эру русского хозяйства и русской промышленности. Но к чему? Какая цель?

-- Дело говорит само за себя.

-- Я не в том смысле. Я хочу спросить: что будет с садом, когда я помру? В том виде, в каком ты видишь его теперь, он без меня не продержится и одного месяца. Весь секрет успеха не в том, что сад велик и рабочих много, а в том, что я люблю дело -- понимаешь? -- люблю, быть может, больше чем самого себя. Ты посмотри на меня: я всё сам делаю. Я работаю от утра до ночи. Все прививки я делаю сам, обрезку -- сам, посадки -- сам, всё -- сам. Когда мне помогают, я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секрет в любви, то есть в зорком хозяйском глазе, да в хозяйских руках, да в том чувстве, когда поедешь куда-нибудь в гости на часок, сидишь, а у самого сердце не на месте, сам не свой: боишься, как бы в саду чего не случилось. А когда я умру, кто будет смотреть? Кто будет работать? Садовник? Работники? Да? Так вот что я тебе скажу, друг любезный: первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек.

-- А Таня? -- спросил Коврин, смеясь. -- Нельзя, чтобы она была вреднее, чем заяц. Она любит и понимает дело.

-- Да, она любит и понимает. Если после моей смерти ей достанется сад и она будет хозяйкой, то, конечно, лучшего и желать нельзя. Ну, а если, не дай бог, она выйдет замуж? -- зашептал Егор Семеныч и испуганно посмотрел на Коврина. -- То-то вот и есть! Выйдет замуж, пойдут дети, тут уже о саде некогда думать. Я чего боюсь главным образом: выйдет за какого-нибудь молодца, а тот сжадничает и сдаст сад в аренду торговкам, и все пойдет к чёрту в первый же год! В нашем деле бабы -- бич божий!

Егор Семеныч вздохнул и помолчал немного.

-- Может, это и эгоизм, но откровенно говорю: не хочу, чтобы Таня шла замуж. Боюсь! Тут к нам ездит один ферт со скрипкой и пиликает; знаю, что Таня не пойдет за него, хорошо знаю, но видеть его не могу! Вообще, брат, я большой-таки чудак. Сознаюсь.

Егор Семеныч встал и в волнении прошелся по комнате, и видно было, что он хочет сказать что-то очень важное, но не решается.

-- Я тебя горячо люблю и буду говорить с тобой откровенно, -- решил он наконец, засовывая руки в карманы. -- К некоторым щекотливым вопросам я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпеть не могу так называемых сокровенных мыслей. Говорю прямо: ты единственный человек, за которого я не побоялся бы выдать дочь. Ты человек умный, с сердцем, и не дал бы погибнуть моему любимому делу. А главная причина -- я тебя люблю, как сына... и горжусь тобой. Если бы у вас с Таней наладился как-нибудь роман, то -- что ж? я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо, без жеманства, как честный человек.

Коврин засмеялся. Егор Семенович открыл дверь, чтобы выйти, и остановился на пороге.

-- Если бы у тебя с Таней сын родился, то я бы из него садовода сделал, -- сказал он, подумав. -- Впрочем, сие есть мечтание пустое... Спокойной ночи.

Оставшись один, Коврин лег поудобнее и принялся за статьи. У одной было такое заглавие: "О промежуточной культуре", у другой: "Несколько слов по поводу заметки г. Z. о перештыковке почвы под новый сад", у третьей: "Еще об окулировке спящим глазком" -- и все в таком роде. Но какой непокойный, неровный тон, какой нервный, почти болезненный задор! Вот статья, кажется, с самым мирным заглавием и безразличным содержанием: говорится в ней о русской антоновской яблоне. Но начинается ее Егор Семеныч с "audiatur altera pars" {"пусть выслушают другую сторону" (лат.)} и кончает -- "sapienti sat" {"умному достаточно" (лат.)}, а между этими изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу "ученого невежества наших патентованных гг. садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр", или г. Гоше, "успех которого создан профанами и дилетантами", и тут же некстати натянутое и неискреннее сожаление, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя драть розгами.

"Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война, -- подумал Коврин. -- Должно быть, везде и на всех поприщах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно".

Он вспомнил про Таню, которой так нравятся статьи Егора Семеныча. Небольшого роста, бледная, тощая, так что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищут; походка, как у отца, мелкая, торопливая. Она много говорит, любит поспорить, и при этом всякую даже незначительную фразу сопровождает выразительной мимикой и жестикуляцией. Должно быть, нервна в высшей степени.

Коврин стал читать дальше, но ничего не понял и бросил. Приятное возбуждение, то самое, с каким он давеча танцевал мазурку и слушал музыку, теперь томило его и вызывало в нем множество мыслей. Он поднялся и стал ходить по комнате, думая о черном монахе. Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он один, то, значит, он болен и дошел уже до галлюцинаций. Это соображение испугало его, но не надолго.

"Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного", -- подумал он, и ему опять стало хорошо.

Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо, потом опять прошелся и сел за работу. Но мысли, которые он вычитывал из книги, не удовлетворяли его. Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Под утро он разделся и нехотя лег в постель: надо же было спать!

Когда послышались шаги Егора Семеныча, уходившего в сад, Коврин позвонил и приказал лакею принести вина. Он с наслаждением выпил несколько рюмок лафита, потом укрылся с головой; сознание его затуманилось, и он уснул.

#### IV

Егор Семеныч и Таня часто ссорились и говорили друг другу неприятности.

Как-то утром они о чем-то повздорили. Таня заплакала и ушла к себе в комнату. Она не выходила ни обедать, ни чай пить. Егор Семеныч сначала ходил важный, надутый, как бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свете, но скоро не выдержал характера и пал духом. Он печально бродил по парку и все вздыхал: "ах, боже мой, боже мой!" и за обедом не съел ни одной крошки. Наконец, виноватый, замученный совестью, он постучал в запертую дверь и позвал робко:

-- Таня! Таня?

И в ответ ему из-за двери послышался слабый, изнемогший от слез и в то же время решительный голос:

-- Оставьте меня, прошу вас.

Томление хозяев отражалось на всем доме, даже на людях, которые работали в саду. Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец и ему стало скучно и неловко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучался к Тане. Его впустили.

-- Ай-ай, как стыдно! -- начал он шутливо, с удивлением глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани. -- Неужели так серьезно? Ай-ай!

-- Но, если бы вы знали, как он меня мучит! -- сказала она, и слезы, горячие, обильные слезы брызнули из ее больших глаз. -- Он замучил меня! -- продолжала она, ломая руки. -- Я ему ничего не говорила... ничего... Я только сказала, что нет надобности держать... лишних работников, если... если можно, когда угодно, иметь поденщиков. Ведь... ведь работники уже целую неделю ничего не делают... Я... я только это сказала, а он раскричался и наговорил мне... много обидного, глубоко оскорбительного. За что?

-- Полно, полно, -- проговорил Коврин, поправляя ей прическу. -- Побранились, поплакали и будет. Нельзя долго сердиться, это нехорошо... тем более, что он вас бесконечно любит.

-- Он мне... мне испортил всю жизнь, -- продолжала Таня, всхлипывая. -- Только и слышу одни оскорбления и... и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что же? Он прав. Я завтра уеду отсюда, поступлю в телеграфистки... Пусть...

-- Ну, ну, ну... Не надо плакать, Таня. Не надо, милая... Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я вас помирю.

Коврин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе у нее было не серьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и пожалуй на всю жизнь! Утешая Таню, Коврин думал о том, что, кроме этой девушки и ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его, как своего, как родного; если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, не рассуждающая любовь, какую питают только к очень близким, кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным, издерганным нервам, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уж не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощекую женщину, но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась.

И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы... Наконец, она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение; потом стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что бог послал ей такой дурной характер, в конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя дурой и выбежала из комнаты.

Когда немного погодя Коврин вышел в сад, Егор Семеныч и Таня уже как ни в чем не бывало гуляли рядышком по аллее и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны.

Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажей и женский смех -- это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышались звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность?

Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытой седой головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга -- Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме.

-- Но ведь ты мираж, -- проговорил Коврин. -- Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой.

-- Это всё равно, -- ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. -- Легенда, мираж и я -- всё это продукт твоего возбужденного воображения. Я -- призрак.

-- Значит, ты не существуешь? -- спросил Коврин.

-- Думай, как хочешь, -- сказал монах и слабо улыбнулся. -- Я существую в твоём воображении, а воображение твоё есть часть природы, значит, я существую и в природе.

-- У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо, точно ты в самом деле прожил больше тысячи лет, -- сказал Коврин. -- Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?

-- Да. Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно.

-- Ты сказал; вечной правде... Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?

-- Вечная жизнь есть, -- сказал монах.

-- Ты веришь в бессмертие людей?

-- Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды -- и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение божие, которое почило на людях.

-- А какая цель вечной жизни? -- спросил Коврин.

-- Как и всякой жизни -- наслаждение. Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано: в доме Отца Моего обители многи суть.

-- Если бы ты знал, как приятно слушать тебя! -- сказал Коврин, потирая от удовольствия руки.

-- Очень рад.

-- Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?

-- Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился, а это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это -- то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры.

-- Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе?

-- А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и т. п. могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей.

-- Римляне говорили: mens sana in corpore sano {здоровый дух в здоровом теле (лат.)}.

-- Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз -- все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо.

-- Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, -- сказал Коврин. -- Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечною правдой?

Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица: черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки; туловище его смещалось со скамьей и с вечерними сумерками, и он исчез совсем.

-- Галлюцинация кончилась! -- сказал Коврин и засмеялся. -- А жаль.

Он пошел назад к дому веселый и счастливый. То небольшое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным царствия божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все -- молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага, -- какой высокий, какой счастливый удел! У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда, он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, что в словах монаха не было преувеличения.

Навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.

-- Вы здесь? -- сказала она. -- А мы вас ищем, ищем... Но что с вами? -- удивилась она, взглянув на его восторженное, сияющее лицо и на глаза, полные слез. -- Какой вы странный, Андрюша.

-- Я доволен, Таня, -- сказал Коврин, кладя ей руки на плечи. -- Я больше чем доволен, я счастлив! Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я так рад, так рад!

Он горячо поцеловал ей обе руки и продолжал:

-- Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. Но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне. Будем говорить о вас. Милая, славная Таня! Я вас люблю и уже привык любить. Ваша близость, встречи наши по десяти раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе.

-- Ну! -- засмеялась Таня. -- Вы забудете про нас через два дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек.

-- Нет, будем говорить серьезно! -- сказал он. -- Я возьму вас с собой, Таня. Да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?

-- Ну! -- сказала Таня и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице.

Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк.

-- Я не думала об этом... не думала! -- говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки.

А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом:

-- Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив! Счастлив!

Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на десять лет, а он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг:

-- Как она хороша!

Узнав от Коврина, что не только роман налачился, но что даже будет свадьба, Егор Семеныч долго ходил из угла в угол, стараясь скрыть волнение. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровела, он велел заложить беговые дрожки и уехал куда-то. Таня, видевшая, как он хлестнул по лошади и как глубоко, почти на уши, надвинул фуражку, поняла его настроение, заперлась у себя и проплакала весь день.

В оранжереях уже поспели персики и сливы; упаковка и отправка в Москву "того нежного и прихотливого груза требовала много внимания, труда и хлопот. Благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множестве гусеница, которую работники и даже Егор Семеныч и Таня, к великому омерзению Коврина, давили прямо пальцами. При всем том нужно уже было принимать заказы к осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И в самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которые отняли у сада больше половины рабочих; Егор Семеныч, сильно загоревший, замученный, злой, скакал то в сад, то в поле и кричал, что его разрывают на части и что он пустит себе пулю в лоб.

А тут еще возня с приданным, которому Песоцкие придавали не малое значение; от звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной, обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы. И как нарочно, каждый день приезжали гости, которых надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незаметно, как в тумане. Таня чувствовала себя так, как будто любовь и счастье захватили ее врасплох, хотя с четырнадцати лет была уверена почему-то, что Коврин женится именно на ней. Она изумлялась, недоумевала, не верила себе... То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца, или, бог весть откуда, придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин, -- и она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов. Когда бывают гости, вдруг ей покажется, что Коврин необыкновенно красив и что в него влюблены все женщины и завидуют ей, и душа ее наполняется восторгом и гордостью, как будто она победила весь свет, но стоит ему приветливо улыбнуться какой-нибудь барышне, как она уж дрожит от ревности, уходит к себе -- и опять слезы. Эти новые ощущения завладели ею совершенно, она помогала отцу машинально и не замечала ни персиков, ни гусениц, ни рабочих, ни того, как быстро бежало время.

С Егором Семенычем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека: один был настоящий Егор Семеныч, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой, не настоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать:

-- Что ни говори, а кровь много значит. Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое лицо, как у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на пяти иностранных языках, пела... Бедняжка, царство ей небесное, скончалась от чахотки.

Не настоящий Егор Семеныч вздыхал и, помолчав, продолжал:

-- Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движения, и разговор нежны и изящны, как у матери. А ум? Он всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, недаром он магистр! Недаром! А погоди, Иван Карлыч, каков он будет лет через десять! Рукой не достанешь!

Но тут настоящий Егор Семеныч, спохватившись, делал страшное лицо, хватал себя за голову и кричал:

-- Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!

А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масла в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шел к себе и с тою же страстностью, с какою он только что целовал Таню и объяснял ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранниках божиих, вечной правде, о блестящей будущности человечества и проч., придавало его работе особенное, необыкновенное значение и наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю, в парке или в доме, он встречался с черным монахом и подолгу беседовал с ним, но это не пугало, а, напротив, восхищало его, так как он был уже крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее.

Однажды монах явился во время обеда и сел в столовой у окна. Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семенычем и с Таней о том, что могло быть интересно для монаха; черный гость слушал и приветливо кивал головой, а Егор Семеныч и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией.

Незаметно подошел Успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы, которую, по настойчивому желанию Егора Семеныча, отпраздновали "с треском", то есть с бестолковою гульбой, продолжавшеюся двое суток. Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наемной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы.

Как-то в одну из длинных зимних ночей Коврин лежал в постели и читал французский роман. Бедняжка Таня, у которой по вечерам болела голова от непривычки жить в городе, давно уже спала и изредка в бреду произносила какие-то бессвязные фразы.

Пробило три часа. Коврин потушил свечу и лег; долго лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог оттого, как казалось ему, что в спальне было очень жарко и бредила Таня. В половине пятого он опять зажег свечу и в это время увидел черного монаха, который сидел в кресле около постели.

-- Здравствуй, -- сказал монах и, помолчав немного, спросил: -- О чем ты теперь думаешь?

-- О славе, -- ответил Коврин. -- Во французском романе, который я сейчас читал, изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна.

-- Потому что ты умен. Ты к славе относиться безразлично, как к игрушке, которая тебя не занимает.

-- Да, это правда.

-- Известность не улыбается тебе. Что лестного, или забавного, или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да и, к счастью, вас слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать ваши имена.

-- Понятно, -- согласился Коврин. -- Да и зачем их помнить? Но давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о счастье. Что такое счастье?

Когда часы били пять, он сидел на кровати, свесив ноги на ковер, и говорил, обращаясь к монаху:

-- В древности один счастливый человек в конце концов испугался своего счастья -- так оно было велико! -- и, чтобы умиловить богов, принес им в жертву свой любимый перстень. Знаешь? И меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вот я не сплю, у меня бессонница, но мне не скучно. Серьезно говорю: я начинаю недоумевать.

-- Но почему? -- изумился монах. -- Разве радость сверхъестественное чувство? Разве она не должна быть нормальным состоянием человека? Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. Сократ, Диоген и Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. И апостол говорит: постоянно радуйтесь. Радуйся же и будь счастлив.

-- А вдруг прогневаются боги? -- пошутил Коврин и засмеялся. -- Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мне по вкусу.

Таня между тем проснулась и с изумлением и ужасом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся: глаза его блеснули и в смехе было что-то странное.

-- Андрюша, с кем ты говоришь? -- спросила она, хватая его за руку, которую он протянул к монаху. -- Андрюша! С кем?

-- А? С кем? -- смутился Коврин. -- Вот с ним... Вот он сидит, -- сказал он, указывая на черного монаха.

-- Никого здесь нет... никого! Андрюша, ты болен!

Таня обняла мужа и прижалась к нему, как бы защищая его от видений, и закрыла ему глаза рукой.

-- Ты болен! -- зарыдала она, дрожа всем телом. -- Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то... Ты психически болен, Андрюша...

Дрожь ее сообщилась и ему. Он взглянул еще раз на кресло, которое уже было пусто, почувствовал вдруг слабость в руках и ногах, испугался и стал одеваться.

-- Это ничего, Таня, ничего... -- бормотал он, дрожа. -- В самом деле я немножко нездоров... пора уже сознаться в этом.

-- Я уже давно замечала... и папа заметил, -- говорила она, стараясь сдержать рыдания. -- Ты сам с собой говоришь, как-то странно улыбаешься... не спишь. О, боже мой, боже мой, спаси нас! -- проговорила она в ужасе. -- Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, бога ради, не бойся...

Она тоже стала одеваться. Только теперь, глядя на нее, Коврин понял всю опасность своего положения, понял, что значат черный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший.

Оба, сами не зная зачем, оделись и пошли в залу: она впереди, он за ней. Тут уж, разбуженный рыданиями, в халате и со свечой в руках стоял Егор Семеныч, который гостил у них.

-- Ты не бойся, Андрюша, -- говорила Таня, дрожа как в лихорадке, -- не бойся... Папа, это всё пройдет... всё пройдет...

Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутливым тоном:

-- Поздравьте, я, кажется, сошел с ума, -- но пошевелил только губами и горько улыбнулся.

В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться.

## VIII

Опять наступило лето, и доктор приказал ехать в деревню. Коврин уже выздоровел, перестал видеть черного монаха, и ему оставалось только подкрепить свои физические силы. Живя у тестя в деревне, он пил много молока, работал только два часа в сутки, не пил вина и не курил.

Под Ильин день вечером в доме служили всенощную. Когда дьячок подал священнику кадило, то в старом громадном зале запахло точно кладбищем, и Коврину стало скучно. Он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду, посидел на скамье, потом прошелся по парку; дойдя до реки, он спустился вниз и тут постоял в раздумье, глядя на воду. Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его. И в самом деле, голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо, сравнительно с прошлым летом, пополнело и побледнело.

По лавам он перешел на тот берег. Там, где в прошлом году была рожь, теперь лежал в рядах скошенный овес. Солнце уже зашло, и на горизонте пылало широкое красное зарево, предвещавшее на завтра ветреную погоду. Было тихо. Всматриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые черный монах, Коврин постоял минут двадцать, пока не начала тускнеть вечерняя заря...

Когда он, вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная уже кончилась. Егор Семеныч и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем.

-- Тебе, кажется, пора уже молоко пить, -- сказала Таня мужу.

-- Нет, не пора... -- ответил он, садясь на самую нижнюю ступень. -- Пей сама. Я не хочу.

Таня тревожно переглянулась с отцом и сказала виноватым голосом:

-- Ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно.

-- Да, очень полезно! -- усмехнулся Коврин. -- Поздравляю вас: после пятницы во мне прибавился еще один фунт весу. -- Он крепко сжал руками голову и проговорил с тоской: -- Зачем, зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг -- всё это в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я -- посредственность, мне скучно жить... О, как вы жестоко поступили со мной! Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю: кому это мешало?

-- Бог знает, что ты говоришь! -- вздохнул Егор Семеныч. -- Даже слушать скучно.

-- А вы не слушайте.

Присутствие людей, особенно Егора Семеныча, теперь уж раздражало Коврина, он отвечал ему сухо, холодно и даже грубо и иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью, а Егор Семеныч смущался и виновато покашливал, хотя вины за собой никакой не чувствовал. Не понимая, отчего так резко изменились их милые, благодушные отношения, Таня жалась к отцу и с тревогой заглядывала ему в глаза; она хотела понять и не могла, и для нее ясно было только, что отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже, что отец в последнее время сильно постарел, а муж стал раздражителен, капризен, придирчив и неинтересен. Она уже не могла смеяться и петь, за обедом ничего не ела, не спала по целым ночам, ожидая чего-то ужасного, и так измучилась, что однажды пролежала в обмороке от обеда до вечера. Во время всенощной ей показалось, что отец плакал, и теперь, когда они втроем сидели на террасе, она делала над собой усилия, чтобы не думать об этом.

-- Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что хорошие родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! -- сказал Коврин. -- Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и хорошие родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация погибнет. Если бы вы знали, -- сказал Коврин с досадой, -- как я вам благодарен!

Он почувствовал сильное раздражение и, чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошел в дом. Было тихо, и в открытые окна несся из сада аромат табака и ялаппы. В громадном темном зале на полу и на рояли зелеными пятнами лежал лунный свет. Коврину припомнились восторги прошлого лета, когда так же пахло ялаппой и в окнах светилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроение, он быстро пошел к себе в кабинет, закурил крепкую сигару и приказал лакею принести вина. Но от сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, как в прошлом году. И что значит отвыкнуть! От сигары и двух глотков вина у него закружилась голова и началось сердцебиение, так что понадобилось принимать бромистый калий.

Перед тем, как ложиться спать, Таня говорила ему:

-- Отец обожает тебя. Ты на него сердишься за что-то, и это убивает его. Посмотри: он стареет не по дням, а по часам. Умоляю тебя, Андрюша, бога ради, ради своего покойного отца, ради моего покоя, будь с ним ласков!

-- Не могу и не хочу.

-- Но почему? -- спросила Таня, начиная дрожать всем телом. -- Объясни мне, почему?

-- Потому, что он мне не симпатичен, вот и все, -- небрежно сказал Коврин и пожал плечами, -- но не будем говорить о нем: он твой отец.

-- Не могу, не могу понять! -- проговорила Таня, сжимая себе виски и глядя в одну точку. -- Что-то непостижимое, ужасное происходит у нас в доме. Ты изменился, стал на себя не похож... Ты, умный, необыкновенный человек, раздражаешься из-за пустяков, вмешиваешься в дразги... Такие мелочи волнуют тебя, что иной раз просто удивляешься и не веришь: ты ли это? Ну, ну, не сердись, не сердись, -- продолжала она, пугаясь своих слов и целуя ему руки. -- Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедлив к отцу. Он такой добрый!

-- Он не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, вроде твоего отца, с сытыми добродушными физиономиями, необыкновенно хлебосольные и чудаковатые, когда-то умиляли меня и смешили и в повестях, и в водевилях, и в жизни, теперь же они мне противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнее всего мне их сытость и этот желудочный, чисто бычий или кабаний оптимизм.

Таня села на постель и положила голову на подушку.

-- Это пытка, -- проговорила она, и по ее голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить. -- С самой зимы ни одной покойной минуты... Ведь это ужасно, боже мой! Я страдаю...

-- Да, конечно, я -- Ирод, а ты и твой папенька -- египетские младенцы. Конечно!

Его лицо показалось Тане некрасивым и неприятным. Ненависть и насмешливое выражение не шли к нему. Да и раньше она замечала, что на его лице уже чего-то недостает, как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо. Ей захотелось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчас же она поймала себя на неприязненном чувстве, испугалась и пошла из спальни.

## IX

Коврин получил самостоятельную кафедру. Вступительная лекция была назначена на второе декабря, и об этом было вывешено объявление в университетском коридоре. Но в назначенный день он известил инспектора студентов телеграммой, что читать лекции не будет по болезни.

У него шла горлом кровь. Он плевал кровью, но случалось раза два в месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в сонливое состояние. Эта болезнь не особенно пугала его, так как ему было известно, что его покойная мать жила точно с такою же болезнью десять лет, даже больше; и доктора уверяли, что это не опасно, и советовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить.

В январе лекция опять не состоялась по той же причине, а в феврале было уже поздно начинать курс. Пришлось отложить до будущего года.

Жил он уже не с Таней, а с другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за ним, как за ребенком. Настроение у него было мирное, покорное: он охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна -- так звали его подругу -- собралась везти его в Крым, то он согласился, хотя предчувствовал, что из этой поездки не выйдет ничего хорошего.

Они приехали в Севастополь вечером и остановились в гостинице, чтобы отдохнуть и завтра ехать в Ялту. Обоих утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился. Еще дома, за час до отъезда на вокзал, он получил от Тани письмо и не решился его распечатать, и теперь оно лежало у него в боковом кармане, и мысль о нем неприятно волновала его. Искренно, в глубине души, свою женитьбу на Тане он считал теперь ошибкой, был доволен, что окончательно разошелся с ней, и воспоминание об этой женщине, которая в конце концов обратилась в ходячие живые мощи, и в которой, как кажется, всё уже умерло, кроме больших, пристально вглядывающихся, умных глаз, воспоминание о ней возбуждало в нем одну только жалость и досаду на себя. Почерк на конверте напомнил ему, как он года два назад был несправедлив и жесток, как вымещал на ни в чем не повинных людях свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же он вспомнил, как однажды он рвал на мелкие клочки свою диссертацию и все статьи, написанные за время болезни, и как бросал в окно, и клочки, летая по ветру, цеплялись за деревья и цветы; в каждой строчке видел он странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, манию величия, и это производило на него такое впечатление, как будто он читал описание своих пороков; но когда последняя тетрадка была разорвана и полетела в окно, ему почему-то вдруг стало досадно и горько, он пошел к жене и наговорил ей много неприятного. Боже мой, как он изводил ее! Однажды, желая причинить ей боль, он сказал ей, что ее отец играл в их романе непривлекательную роль, так как просил его жениться на ней; Егор Семеныч нечаянно подслушал это, вбежал в комнату и с отчаяния не мог выговорить ни одного слова, и только топтался на одном месте и как-то странно мычал, точно у него отнялся язык, а Таня, глядя на отца, вскрикнула раздирающим голосом и упала в обморок. Это было безобразно.

Всё это приходило на память при взгляде на знакомый почерк. Коврин вышел на балкон; была тихая теплая погода, и пахло морем. Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зеленым; местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнял бухту, а в общем какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение!

В нижнем этаже, под балконом, окна, вероятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женские голоса и смех. По-видимому, там была вечеринка.

Коврин сделал над собой усилие, распечатал письмо и, войдя к себе в номер, прочел:

"Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие, то есть происходит то самое, чего так боялся бедный отец. Этим я обязана тоже тебе. Я ненавижу тебя всею моею душой и желаю, чтобы ты скорее погиб. О, как я страдаю! Мою душу жжет невыносимая боль... Будь ты проклят. Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим..."

Коврин не мог дальше читать, изорвал письмо и бросил. Им овладело беспокойство, похожее на страх. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, как она дышала; из нижнего этажа доносились женские голоса и смех, но у него было такое чувство, как будто во всей гостинице кроме него не было ни одной живой души. Оттого, что несчастная, убитая горем Таня в своем письме проклинала его и желала его гибели, ему было жутко, и он мельком взглядывал на дверь, как бы боясь, чтобы не вошла в номер и не распорядилась им опять та неведомая сила, которая в какие-нибудь два года произвела столько разрушений в его жизни и в жизни близких.

Он уже по опыту знал, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство от них -- это работа. Надо сесть за стол и заставить себя, во что бы то ни стало, сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Он достал из своего красного портфеля тетрадку, на которой был набросан конспект небольшой компилятивной работы, придуманной им на случай, если в Крыму покажется скучно без дела. Он сел за стол и занялся этим конспектом, и ему казалось, что к нему возвращается его мирное, покорное, безразличное настроение. Тетрадка с конспектом навела даже на размышление о суете мирской. Он думал о том, как много берет жизнь за те ничтожные или весьма обыкновенные блага, какие она может дать человеку. Например, чтобы получить под сорок лет кафедру, быть обыкновенным профессором, излагать вялым, скучным, тяжелым языком обыкновенные и притом чужие мысли, -- одним словом, для того, чтобы достигнуть положения посредственного ученого, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лет, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болезнь, пережить неудачный брак и проделать много всяких глупостей и несправедливостей, о которых приятно было бы не помнить. Коврин теперь ясно сознавал, что он -- посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть.

Конспект совсем было успокоил его, но разорванное письмо белело на полу и мешало ему сосредоточиться. Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно, но подул с моря легкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику. Опять им овладело беспокойство, похожее на страх, и стало казаться, что во всей гостинице кроме него нет ни одной души... Он вышел на балкон. Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе. В самом деле, было жарко и душно и не мешало бы выкупаться.

Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка, и запели два нежных женских голоса. Это было что-то знакомое. В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, непонятная... У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди.

Черный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он с страшною быстротой двигался через бухту по направлению к гостинице, становясь все меньше и темнее, и Коврин едва успел посторониться, чтобы дать дорогу... Монах с непокрытою седою головой и с черными бровями, босой, скрестивши на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты.

-- Отчего ты не поверил мне? -- спросил он с укоризной, глядя ласково на Коврина.  
-- Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений, то эти два года ты провел бы не так печально и скудно.

Коврин уже верил тому, что он избранник божий и гений, он живо припомнил все свои прежние разговоры с черным монахом и хотел говорить, но кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали мокрыми от крови. Он хотел позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сделал усилие и проговорил:

-- Таня!

Он упал на пол и, поднимаясь на руки, опять позвал:

-- Таня!

Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу под балконом играли серенаду, а черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения.

Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка.

## XX век

### Андрей Белый

#### Об авторе:

#### **Вл. Муравьев. "Ударил серебряный колокол"**

*Белый Андрей. Старый Арбат: Повести.-- М.: Моск. рабочий, 1989.-- (Литературная летопись Москвы).*

*OCR Бычков М. Н.*

*На протяжении своего творческого, писательского пути, с первых шагов и до последних дней Андрей Белый слышал и читал о себе прямо противоположные отзывы: одни называли его гением, другие -- бездарью, одни видели в его произведениях откровения, другие считали их бредом. И это в одно и то же время, об одних и тех же произведениях. И он сам и верил в свой дар и в свое дело, и мучительно сомневался в том и другом...*

*В 1925 году, когда им уже были созданы самые значительные произведения -- стихи, новаторские "Симфонии", романы "Серебряный голубь" и "Петербург", книги критических и литературно-теоретических работ "Арабески", "Символизм" и другие, он пишет завещание-распоряжение об издании своих сочинений, если когда-нибудь возникнет вопрос об этом, оговариваясь, правда, что "не слишком много для этого шансов": "В случае моей смерти хотел бы я, чтобы эти слова прочел кто-нибудь из друзей, которому было бы интересно знать сумму мною написанного. Я, конечно, не придаю слишком глубокого значения моим работам; вообще книгами я интересуюсь постольку, поскольку сквозь все их пишется одна Книга книг; и это -- Книга духовного развития человечества, его культура; но исследователей этого мучительного становления культуры может интересовать тот или иной период развития культуры в любой из стран; могут быть люди, интересующиеся "началом века" в России, деятелями разных течений этого времени; с точки зрения этой и символизм может оказаться "симптоматичен", и в нем "симптоматичен" могу быть и я со всеми моими малыми достижениями и великими падениями".*

*Яркость, незаурядность Андрея Белого и как человека, и как писателя по первому знакомству с ним и по первому сочинению двадцатилетнего студента отметил Брюсов: в 1902 году он пишет о нем в дневнике: "Это едва ли не интереснейший человек в России", его литературный талант Брюсов оценивает как "очень крупный".*

*В 1909 году для Брюсова уже нет никаких сомнений в том, что Андрей Белый занимает выдающееся место в современной литературе, и он дает краткий обзор его литературной деятельности: "За свою недолгую литературную жизнь он (Белый) вступал на множество самых разнообразных путей <...>; в своих четырех "Симфониях" он создал как бы новый род поэтического произведения, обладающего музыкальностью и строгостью стихотворного создания и вместительностью и непринужденностью романа <...>; в романе "Серебряный голубь" он "обнаружил непосредственное чувство и понимание нашей действительности, дал ряд ярких картин современной России; в критических статьях он набросал ряд импрессионистических живых портретов некоторых своих современников и с исключительной оригинальностью мысли поставил несколько вопросов, затронувших самые глубины искусства <...>. Андрей Белый -- одна из замечательнейших фигур современной литературы".*

*И в то же время о первых произведениях Андрея Белого писали и говорили, как о "бреде", как о явлении, находящемся вне литературы. Марина Цветаева в очерке "Пленный дух" передает слова одной культурной дамы, "профессорши", в которых отразилось это мнение: "...из приличной семьи, профессорский сын, Николая Дмитриевича {В тексте неточность: отца Андрея Белого звали Николай Васильевич.-- Ред.} Бугаева сын. Почему не Бугаев -- Борис, а Белый -- Андрей? От отца отрекаться? Видно, уж такого насочинил, что подписать стыдно?"*

*Это -- в начале пути. Но то же и в конце.*

*На следующий день после смерти Андрея Белого, 9 января 1934 года, в "Известиях" был напечатан некролог, написанный Б. А. Пильняком, Б. Л. Пастернаком и Г. А. Савинковым.*

*"8 января, в 12 ч. 30 мин. умер от атеросклероза Андрей Белый, замечательнейший писатель нашего века, имя которого в истории станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых. Имя каждого гения всегда отмечено созданием своей школы. Творчество Андрея Белого -- не только гениальный вклад как в русскую, так и в мировую литературу, оно -- создатель громадной литературной школы. Переключаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее. Джеймс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джеймс Джойс -- ученик Андрея Белого. Придя в русскую литературу младшим представителем школы символистов, Белый создал больше, чем все старшее поколение этой школы -- Брюсов, Мережковские, Сологуб и др. Он перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения. Мы, авторы этих посмертных строк о Белом, считаем себя его учениками".*

*А неделю спустя, 16 января 1934 года, в "Литературной газете" появилась статья критика А. А. Болотникова "Андрей Белый", "поправляющая" и опровергающая некролог: "Реакционным утверждением было бы зачислять Белого в классики мировой литературы, так как такое утверждение не соответствует истинному положению вещей..."*

*Такая двойственность литературной репутации Андрея Белого отразилась на судьбе его произведений в нашей стране: его практически не издавали, а в курсах истории литературы о нем писали скупо и в основном с "разоблачительных" позиций. Только сейчас отношение к творчеству Андрея Белого меняется. Объективная оценка вклада Андрея Белого в историю литературы и осмысление роли его творчества в современном литературном процессе -- дело будущего, Андрей Белый еще по-настоящему не прочитан нашим временем. Но уже сейчас можно утверждать с полной уверенностью, что вклад был значителен и принципиален, а роль -- велика и плодотворна.*

*Последние годы жизни Андрей Белый работал над мемуарами, в одной из глав которых он пишет:*

*"Помнится прежний Арбат: Арбат прошлого -- он от Смоленской аптеки вставал полосой двухэтажных домов, то высоких, то низких; у Денежного -- дом Рахманова, белый, балконный, украшенный лепкой карнизов, приподнятый круглым подобием башенки: три этажа.*

*В нем родился; в нем двадцать шесть лет проживал".*

*Дом, в котором родился Андрей Белый, и сейчас стоит на Арбате, он только надстроен четвертым этажом. Его адрес: Арбат, 55.*

*Индивидуальные человеческие жизни бесконечно разнообразны, в каждой из них есть узловыe моменты, приходящиеся на какой-либо период и определяющие главное ее содержание. Для Андрея Белого такое -- определяющее -- значение имели, по его собственному выражению, "первейшие события жизни" -- детство, юность, характер, "дух эпохи" этих лет.*

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) родился 14 октября 1880 года. Отец -- Николай Васильевич Бугаев, математик, профессор Московского университета; мать -- Александра Дмитриевна -- происходила из когда-то богатой, но затем обедневшей московской купеческой семьи Егоровых.

Андрей Белый родился в профессорской семье. Он был "профессорский сын". Марина Цветаева в очерке "Пленный дух" приводит рассуждение Андрея Белого по этому поводу: "Мы -- профессорские дети. Вы понимаете, что это значит: профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Credo. (Углубляющая пауза.) Вы не можете понять, как вы меня обрадовали. Я ведь всю жизнь, не знаю почему, один был профессорский сын, и это на мне было, как клеймо,-- о, я ничего не хочу дурного сказать о профессорах, я иногда думаю, что я сам профессор, самый настоящий профессор -- но все-таки... <...> Вы этого не ощущаете клейма? Нет, конечно, вы же -- дочь. Вы не несете на себе тяжести преемственности. Вы -- просто вышли замуж, сразу замуж -- да. А сын может только жениться, и это совсем не то, тогда его жена -- жена сына профессора Бугаева".

"Первейшее событие жизни" -- рождение в профессорской семье, профессорская квартира, профессорский быт, специфическая атмосфера. "Я рос в обители профессоров, среди которых был ряд имен европейской известности,-- вспоминает Андрей Белый,-- с четырех лет я разбираюсь в гуле имен вокруг меня: Дарвин, Геккель, Спенсер, Милль, Кант, Шопенгауэр, Вагнер, Вирхов, Гельмгольц, Лагранж, Пуанкаре, Коперник и т. д.". Он был просто "Боренькой" для крупнейших деятелей науки и культуры, друзей и знакомых отца: "...сидел на коленях Льва Толстого; и кормили меня конфетами и Буслаев, и Янжул", в доме бывали, и не просто бывали, а были соседями по дому, по даче, заходили запросто на чай,-- Н. А. Умов, А. Н. Веселовский, Н. В. Склифосовский, К. А. Тимирязев, С. А. Усов, Н. И. Стороженко, М. М. Ковалевский, Д. Н. Анучин и многие другие.

Андрей Белый рос в атмосфере научных и культурных интересов. Образование для него не кончалось за порогом гимназии, оно продолжалось домашним чтением, прислушиванием к беседам, и в результате он как бы само собой получал широкую общекультурную подготовку.

Как отец, так и его друзья и знакомые в большинстве своем по взглядам и психологии были шестидесятниками. Они исповедовали культ знания, твердо были убеждены в исключительном значении науки для судьбы страны и человечества; в свое время они свергали авторитеты, теперь же сами стали авторитетами с достаточной долей нетерпимости к иному мнению, к иной психологии -- чертой, также свойственной психологическому образу шестидесятника. Авторитеты давили. Ощущение давления авторитетов у Андрея Белого усугублялось тем, что в нем обнаружилась сильная художественная одаренность, что по Credo "профессоров" считалось "ерундой". Неизбежно назревал бунт, и Андрей Белый взбунтовался против устоявшегося "профессорского" быта, против старомодных, по его мнению, литературных вкусов, против непонимания, как ему казалось, ими искусства вообще. Андрей Белый в своих воспоминаниях много раз возвращается к своему юношескому бунту, к обидам против не понявших и отвергнувших его "профессоров", многое в его обвинениях несправедливо, но парадокс заключается в том, что в своем бунте он выступил учеником и последователем тех, против кого пошел, от них же восприняв идею бунта.

Большое влияние на формирование характера и личности Андрея Белого оказало глубокое неблагополучие в семье, разлад между отцом и матерью. Мальчик рано понял, что только он связывает родителей, которые одинаково сильно любили его, а не будь его, они бы давно разошлись. Мать -- одна из первых московских красавиц -- вела светский образ жизни, у нее была своя жизнь, свой круг знакомых, она презирала занятия мужа и вела постоянную борьбу за то, чтобы сын не стал "вторым в доме математиком". Но в то же время она была человеком, чувствующим искусство, незаурядной пианисткой, она сочувствовала художественным устремлениям сына. Отец называл общество жены не

иначе, как "лоботрясами", и был одинок. Андрей Белый с годами понял его незаурядность, его ум, благородство, широту натуры, творческую одаренность. Его тянуло к отцу, и он любил мать, он жил двойной жизнью: был то "мамин", то "папин", но порой, измученный, издерганный, в отчаянье заявлял, что он "не мамин" и "не папин".

"Первейшие события жизни" "профессорского сына" состояли из противоречий: в необходимости подчинения традициям и авторитетам и в стремлении к самостоятельности, в усвоении знаний и опыта и в отрицании их.

Далее среди "первейших" впечатлений Андрея Белого был Арбат.

"История мира: Арбат",-- сказал он однажды. Арбат стал для него первым знакомством с внешним миром за пределами квартиры. Он представлялся ему огромным. С годами представление об огромности арбатского мира, конечно, изменилось, но все равно арбатский мир остался в его сознании, в его ощущении, в его мыслях, в его творчестве.

Арбатские весны, арбатские зимы прочувствованы и описаны Андреем Белым в стихах и прозе. Арбатские закаты, пламенеющие, бушующие, тихо догорающие, разливающиеся в беспредельность над Дорогомиловом, которые и сейчас, несмотря на изуродованную панораму, на дым и чад, окутывающий прежде прозрачные дали, все равно прекрасны, пожалуй, более красивы, чем где бы то ни было в Москве, подсказали и укрепили краеугольную идею его мировоззрения: идею солнца и прозрения в закатном догорании завтрашней зари.

Арбатский мир имел четкие границы. В очерке "Старый Арбат", вспоминая годы детства, Андрей Белый пишет: "Смутно лишь чуялось -- там океан опоясывает, ограничивая "нашу" площадь: Арбат, Поварскую, Собачью площадку, Толстовский, Новинский, Смоленский, Пречистенку; домики, что над бульваром; и снова: Арбат; круг -- смыкался: арбатцы свершали свои путешествия в круге, прогуливаясь на бульваре Пречистенском и возвращаясь Сивцевым Вражском домой: на Арбат".

Арбатский мир детства Андрей Белый описал в романе "Котик Летаев", мир юности во 2-й и 3-й симфониях. Историком Арбата выступает он в своих мемуарных книгах, соединяя в себе исследователя и очевидца.

Но если без Арбата не было бы того Андрея Белого, какой он есть, то и Арбат для его современников был непредставим без Андрея Белого.

Борис Зайцев в очерке об Арбате "Улица св. Николая" (на Арбате было три церкви Николы -- в Плотниках, на-Песках и Никола-Явленный) описывает Арбат начала века и говорит об Андрее Белом, даже не называя его имени, считая это, видимо, излишним -- это, мол, и так каждому ясно: "А поэт бирюзоглазый, улетающий и вечно проносющийся в жизни и в пространствах, точно облако белеющее, также пробегает по другому тротуару, и приветствует лазурь, и ждет пришествия, и изнывает от томлений по закатам огненно-златистым над Арбатом -- там, в конце, где он спускается к Москверке, в ней утопая. Смутны и волнующи, и обещающие закаты эти! Чище и хрустальнее, и дивно-облегченнее те миры, что там рисуются, в фантазмах златоогненных". Арбат 1905 года -- опять про Андрея Белого: "Веселый рыцарь, Дон Жуан и декадент, он же издатель, и спирит, и мистик, собственноручно водружает красный флаг на баррикаде у Никольского" (эти строки -- миф о Белом, на баррикаде у Никольского был его друг, художник В. В. Владимиров, но он мог и должен был быть там, поэтому Борис Зайцев, в остальном правдивый и точный, поверил в слухи о Белом на арбатской баррикаде); Арбат 1921 года: по его тротуару "все так же пролетает и поэт бирюзоглазый, сильно поседевший, в пальто рваном и шапочке тертой -- он спешит на лекцию, на семинарий, в пролеткульт и пролетдрам, политотдел и наробраз и в словах новых будет поучать людей новейшим, старым откровениям писаний". И уже в 1934 году писатель совсем нового поколения Николай Зарудин, описывая Арбат тридцатых годов, тоже не мог не сказать об Андрее Белом: "Бориса Николаевича провезли уже к Донскому -- Андреем Белым, известным всему миру, он лежал в гробу, как юноша, красивый, а мы помним, как

бежал он по улице с последней плющихинской квартиры, в галстуке бантом, похожий на музыканта из Гофмана, с голубыми лунными глазами..."

"Начал писать 15-ти лет",-- сообщает Андрей Белый в автобиографии. Более подробно об этом он рассказывает в книге "На рубеже двух столетий": "Начинается мое авторство; я пишу: пишу много, но -- про себя; стыдливость моя не знает пределов; если бы меня уличили в те дни в писании стихов, я мог бы повеситься; пишу я и нескончаемую поэму в подражание Тассу, и фантастическую повесть, в которой фигурирует йог-американец, убивающий взглядом, и лирические отрывки, беспомощные, но с большой дозой "доморощенного" еще не вычитанного декадентства; одно из первых моих стихотворений -- беспомощное четверостишие:

Кто так дико завывает  
У подгнившего креста?  
Это -- волки?  
Нет: то плачет тень моя!

...Эпитеты "дикий" и "странный" -- мои излюбленные..."

Этот взрыв "авторства" был неожиданен даже для самого автора -- юного Андрея Белого, однако вполне закономерно, что произошел именно взрыв. В отличие от Блока, росшего в литературной семье и поэтому начавшего "сочинять" при доброжелательном одобрении домашних в раннем детстве, Андрей Белый не имел таких благоприятных условий для того, чтобы начать писать, раньше его литературный талант проявлялся в устном сочинении -- "для себя". Хотя, безусловно, взрыв этот был подготовлен.

Несмотря на генеральное естественно-положительное направление профессорского дома, в нем, как и в каждой интеллигентской семье того времени, художественные интересы занимали свое место: русская и иностранная классика была необходимой частью библиотек, приобретались детские книги, но, главное, в большинстве своем, естественники хорошо знали литературу и многие в какой-то период своей жизни даже пробовали себя в литературном творчестве.

Н. В. Бугаев любил слово, умел им пользоваться и с молодости имел репутацию замечательного оратора и споририка. Среди его знакомых было много литераторов, деятелей искусства: П. Д. Боборыкин, Л. Н. Толстой, А. Ф. Писемский, Николай и Антон Рубинштейны, Владимир Соловьев, И. С. Тургенев, который приходил в восторг от его речей-импровизаций; П. И. Чайковский, познакомившись с ним, сообщает брату: "Познакомился недавно с профессором Бугаевым. Невероятно ученый и умный малый, <...>мною овладел ужас, когда пришлось встретить истинно просвещенного человека"; Николай Васильевич писал стихи, статьи (Андрей Белый сообщает, что после смерти отца он нашел в его бумагах статью об "Отцах и детях" Тургенева), сочинял либретто оперы для А. Н. Серова.

Особенно наглядно проявлялись языковая яркость и литературная фантазия Н. В. Бугаева в рассказываемых им гротесковых, фантастических историях, построенных на игре слов, на каламбуре, при котором слово порождает сюжет, миф. О стиле этих каламбуров Андрей Белый писал, что это "Лесков, доведенный до бреда", он же называет некоторые из них: "О Халдее и жене его Халде", "О костромском мужике", "О Магде", была целая серия рассказов о черте ("Бугаев рассказывал о своих столкновениях с чертом -- любопытно",-- записывает в дневнике Брюсов). Л. Н. Толстой ценил гротески Бугаева "за художественность".

Андрей Белый с детства внимательно прислушивался к каламбурам отца и, как он пишет, "иными из них я воспользовался, как художник, вернув их в "Симфонию" и в "Петербург". Например, отцовский каламбур, вставленный в "Симфонию": "Передавали поморы, что... подплывал кит... к берегу Мурмана.... Спросил... любопытный кит

глухого... помора: "Как здоровье Рюрика?" И на недоумение глухого старика добавил: "Лет с тысячу тому назад я подплывал к этому берегу: у вас царствовал Рюрик в ту пору".

Вступлению на путь авторства способствовало и то, что Андрей Белый учился в Поливановской гимназии, где так сильны были литературные традиции, где чтити поэзию В. А. Жуковского, о котором директор гимназии Л. И. Поливанов издал объемистый труд, где царствовал культ Пушкина и Шекспира, где учился Брюсов... В 1894 году вышел первый коллективный сборник "Русские символисты", изданный Брюсовым и составленный в основном из его стихов. В Поливановской гимназии об этом много говорили, "в 1894 году мы его впервые "дикие" стихи затвердили,-- вспоминал Андрей Белый,-- твердили и пародии на него В. Соловьева".

В 1895 году Андрей Белый начинает посещать семью М. С. Соловьева, брата философа Вл. Соловьева. Эта встреча оказала решающее влияние на весь его дальнейший жизненный путь. Он дружил с Сергеем Соловьевым -- соучеником по гимназии, с которым у него оказалось много общего в характере, в восприятии жизни, и также "дружил" (это он специально отметил) с его родителями. М. С. Соловьев -- литератор, ученый, готовивший к изданию сочинения брата, непререкаемый авторитет в области литературы и философии, его вкусы клонятся к классике, но в отличие от многих он относится с пониманием и без осуждения к новым течениям. О. М. Соловьева -- художница, переводчица. Ольга Михайловна, по характеристике Андрея Белого, "сказала свое "да" всему декадентскому, то есть тому, что именовалось декадентским. В доме Соловьевых ему по-настоящему открылось новое искусство, новая литература. С книгами Бальмонта и Брюсова его внимание было обращено на работы прерафаэлитов, импрессионистов, Левитана, Куинджи, Нестерова, Врубеля, Якунчикову. Соловьева заинтересовала его Бодлером, Ницше, Рескиным, Метерлинком, Уайльдом.

Первые литературные сочинения Андрея Белого -- целиком подражания тому, что он читал: приключенческим романам, романтикам Уланду и Гейне, популярному в кругах интеллигенции А. К. Толстому (приведенное выше четверостишие про волков явно навеяно его балладой "Волки"), "декадентство" в них, как он сам пишет, "доморощенное", но новое литературное течение, называемое пока "декадентством", потом закрепившее за собой название символизм, уже властно втягивало его в свою орбиту.

К тому времени (в 1893 г.) Брюсов -- гимназист выпускного класса -- уже написал в дневнике: "Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему..."

Символизм -- явление мировой культуры, но на русской почве развитие символизма имело свои особенности.

Первоначально отношение русской литературной общественности к европейским символистам было отрицательным -- и к идеям, ими проповедуемым, и к формам, в которых эти идеи были выражены. А. М. Горький в статье "Поль Верлен и декаденты" писал: "Декаденты и декадентство -- явление вредное, антиобщественное". Странные на первый взгляд образы символической поэзии осмеивались в юмористических журналах, служили поводом для шуток. Так, например, редактор московского юмористического журнала Емельянов-Коханский даже устроил целое шутовское представление: выпустил книгу якобы декадентских стихов с посвящением: "Мне н египетской царице Клеопатре", "а затем,-- как описывает И. А. Бунин,-- самолично появился на Тверском бульваре: в подштанниках, в бурке и папахе, в черных очках и с длинными собачьими когтями, привязанными к пальцам правой руки". Так, по его мнению, должен был выглядеть истинный декадент.

Однако в действительности русский символизм оказался явлением гораздо более глубоким и серьезным, чем это представлялось на первый взгляд.

*Девяностые годы, в которые начинается история русского символизма, для русской литературы были трудными годами кризиса, являвшегося отражением кризиса общественной жизни. Народничество исчерпало себя, рабочее же движение делало лишь первые шаги, и его идеология -- марксизм -- еще не получила широкого распространения. Литература, в большинстве своем питавшаяся устарелыми народническими идеями, перестала быть тем живым "учебником жизни", каким она была в шестидесятые годы, ее общественное значение упало.*

*А. П. Чехов писал в письме к А. С. Суворину в 1892 году: "Наука и техника переживают теперь великое время, для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное, сами мы кислы и скучны... Причины тут не в глупости нашей, не в бездарности... а в болезни. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьют нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель... Лучшие из них реальны и пишут жизнь такую, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас. А мы? Мы! Мы пишем жизнь такую, какая она есть, а дальше -- ни тпру, ни ну... Дальше хоть плетью нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником..."*

*Чехов прежде всего обращает внимание на мелкотемье литературы, на отсутствие в ней больших идей -- на идеологический кризис. Но он же отмечает и вторую сторону кризиса -- кризис художественной формы. Герой "Чайки" молодой писатель Треплев мучается в безуспешных поисках новых художественных средств, отличных от уже выработанных, превращенных в штампы: "Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине... Это мучительно". В отчаянье он готов отказаться от сознательных поисков оригинальности, положиться на то, что когда-нибудь истинно оригинальное само "выльется из души". Более резко о традиционно-реалистической литературе конца XIX века высказался А. М. Горький: "Эта форма отжила свое время -- факт!"*

*В том же 1892 году, в котором было написано цитированное выше письмо А. П. Чехова, написана брошюра Д. С. Мережковского "О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы" -- первый манифест русского символизма, вернее даже будет сказать -- предсимволизма. В ней автор пытается определить пути развития и черты новой литературы:*

*"Несмотря на скуку, бездействие, порчу языка, газетно-жур-нальную анархию, отсутствие крупных талантов и непонятный застой, мы переживаем один из важнейших моментов в историческом развитии русской литературы. Это -- подземное, полусознательное и, как вначале всякая творческая сила, невидимое течение. Тайные побегии новой жизни, новой поэзии слабо и непобедимо пробиваются на свет божий, пока на поверхности достигает последних пределов торжество литературной пошлости и варварства. <...>*

*Перед нами -- огромная, так сказать, переходная и подготовительная работа. Мы должны вступить из периода поэзии творческого, непосредственного и стихийного в период критический, сознательный и культурный. Это два мира, между которыми целая бездна. Современное поколение имело несчастье родиться между этими двумя мирами, перед этой бездной. Вот чем объясняется его слабость, болезненная тревога, жадное искание новых идеалов и какая-то роковая бесплодность всех усилий. Лучшая молодость и свежесть таланта уходит не на живое творчество, а на внутреннюю ломку и борьбу с прошлым, на переход через бездну к тому краю, к тому берегу, к пределам свободного*

божественного идеализма. Сколько людей погибает в этом переходе или окончательно теряет силы.

Великая позитивная работа последних двух веков, конечно, не прошла даром. Возрождение средневековых догматических форм уже немислимо. Потому-то стародавний, вечный идеализм в искусстве мы имеем право назвать новым, что он является в сочетании еще небывалом с последними выводами точных знаний, в свете безгранично свободной научной критики и научного натурализма, как неисстребимая никакими сомнениями потребность человеческого сердца".

На русской почве символизм принимает совершенно иной облик, чем в Западной Европе. А. В. Луначарский, сравнивая европейский символизм с русским, подчеркивает: "Почти ни один русский символист, по существу говоря, не был похож на французских символистов, и русский символизм не вкладывается в рамки французского символизма, потому что русскому символизму было присуще много варварства (слово "варварство" здесь употреблено Луначарским в его первоначальном смысле и означает "молодость, богатство природных сил, незараженность пороками цивилизации".-- Вл. М.), много непосредственной, протестующей против всего этого микроискусства такой сочности".

Русская литература отвергала философию западноевропейского символизма еще и потому, что "российская интеллигенция,-- как замечает Луначарский,-- была заряжена слишком большим зарядом идейности".

Брюсова к символизму привели поиски новых форм. Для него символизм является прежде всего не особой системой философских и мировоззренческих взглядов, а системой изобразительных средств, современным художественным методом, соответствующим требованиям жизни. "Что, если бы я вздумал на гомеровском языке писать трактат по спектральному анализу? -- размышляет он (запись 22 марта 1893 г.).-- У меня не хватило бы слов и выражений. То же, если я вздумаю на языке Пушкина выразить ощущения *Fin de siècle*! {*Fin de siècle* -- конец века (фр.).} Нет, нужен символизм!" "Создать новый поэтический язык, заново разработать средства поэзии -- таково назначение символизма",-- констатирует он в 1897 году. Символистскую поэзию Брюсов воспринимает, как "поэзию оттенков в противоположность прежней поэзии красок". "Цель символизма,-- утверждает он,-- как бы загнипотизировать читателя, вызвать в нем известное настроение".

Старшие символисты -- Мережковский, Брюсов -- воспринимали символизм преимущественно как литературное направление, и все их усилия были направлены на утверждение символизма в литературе. Для младших символистов, к которым принадлежал Андрей Белый, символизм стал более широким явлением, захватывающим и литературу и искусство, для них он стал мироощущением и мировоззрением, явлением общественным. Так получилось не только потому, что старшие символисты подготовили для них почву, но и потому, что это было уже иное поколение, вступающее в литературу в других общественных условиях: на последней грани века.

Символика чисел всегда имела для людей огромную притягательную силу, и поэтому последний год века многими воспринимался не только как календарная дата, но и как некий сакраментальный рубеж: конец чего-то очень значительного. Подобное ощущение переживал и Андрей Белый: конец -- да, но конец -- не гибель, конец -- рубеж, за которым будет новое начало. Свое и своих друзей мироощущение на рубеже веков он описывает так: "Вечное проявляется в линии времени зарей восходящего века. Туманы тоски вдруг разорваны красными зорями совершенно новых дней. <...> Срыв старых путей переживается Концом Мира, весть о новой эпохе -- Вторым Пришествием. Нам чуждается апокалипсический ритм времени. К Началу мы устремляемся сквозь Конец".

Рассуждения Андрея Белого о времени, о своем пути -- туманные, неопределенные, метафорические, и в то же время они полны внутренней убежденности и своего -- тайного для окружающих, но ведомого ему -- смысла. Иными они быть и не могли, потому что в их основе лежали не жизненный опыт, не какая-либо определенная

программа, а естественные движения юной, чистой, жаждущей и ищущей души -- внутреннее состояние, которое В. Г. Белинский в 4-й статье о Пушкине определяет как романтизм, который, как он пишет, "не есть достояние и принадлежность одной какой-нибудь страны или эпохи: он -- вечная сторона природы и духа человеческого; он не умер после средних веков, а только преобразился".

Анализ и характеристика Белинским романтизма (не как литературного направления, а как психологического состояния) полностью приложимы к Андрею Белому и объясняют характер и главный, внутренний источник его раннего творчества.

"Романтизм,-- пишет Белинский,-- принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзии: его источник в том, в чем источник и искусства, и поэзии -- в жизни. Жизнь там, где человек, а где человек, там и романтизм. <...> Сфера его, как мы сказали,-- вся внутренняя, душевная жизнь человека, та таинственная почва души и сердца, откуда поднимаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному, стараясь находить себе удовлетворение в идеалах, творимых фантазией".

В этих словах Белинского совершенно ясно виден его личный опыт, это не столько теоретизирование, сколько воспоминания -- воспоминания об эпохе кружка Станкевича. Интересно, что Андрей Белый находил нечто общее, преемственное между собой, декадентом, символистом конца века, и романтиками-идеалистами тридцатых -- сороковых годов. Андрей Белый считал, что для языка, формы изложения мыслей, принятых в кружке его единомышленников, характерны "сгущенность метафор, афористичность и тенденция к острастности, <...> я ввожу в речь рискованные уподобления, <...> я запрыгивал и в лексикон Хлебникова", но, подчеркивая новаторский характер их языка, он тут же указывает и на его исторические истоки: "...на нем отчасти объяснялись и в кружке Станкевича; нечто от философской витиеватости -- старинной, московской -- было ведь и в моих речах". Этот язык и эта образность и стали языком первых серьезных литературных произведений Андрея Белого -- симфоний.

Отзывы на свои "неопределенные стремления к лучшему и возвышенному" и возможность конкретизировать и сформулировать их Андрей Белый ищет и находит в литературе, в книгах.

В своих воспоминаниях он много и подробно пишет о чтении, периоды своего духовного развития он отмечает прочтением тех или иных авторов.

Первые классы гимназии: "Я изгрыз (перечитал и перепрочитал) художественные отрывки хрестоматий Поливанова; они раздражали меня; в третьем классе я пережил упоение Пушкиным, а Пушкина знал по отрывкам". С четвертого класса: Диккенс, Гоголь, весь Алексей Толстой, Лермонтов, Майков и огромное количество модной в те годы беллетристики: Коллинз, Ожешко, Бурже... С шестого класса -- новая литература, с которой знакомится через Соловьевых, и страстное чтение русской классики: Лев Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Фет, Полонский, Некрасов, Надсон. Тогда же он прочел Ибсена, "Ибсен -- разрыв бомбы во мне".

Следующий этап -- последний год учебы в гимназии и первый КУРС университета -- главным становится чтение и изучение философов: Кант, Шопенгауэр, "с осени 1899 года я живу Ницше", древнеиндийская философия, с осени 1900 года -- Владимир Соловьев.

Однако знакомство с философской литературой у Андрея Белого (как и у его друзей: у Блока, например) идет как бы двумя путями: один -- научное изучение собственно философии и второй -- художественное переживание ее. И именно художественное переживание, имеющее очень отдаленное отношение к той или иной философской системе и представляющее собой собственные чувства и мысли и лишь потому, что много термина для них нет, связываемое с именами философов, воплощается в творческих поисках.

Блок признается, что в философской работе Вл. Соловьева он не находит ничего, кроме "непостижимой скуки", но в то же время его поэзия захватывает его.

Андрей Белый ставит знак равенства между Ницше и цыганской песней: "Но если собрать в кучу все ученые книги, всю философию, то вряд ли получится нечто столь грандиозное, что получается от настоящей цыганской песни. Ницше -- ты наша милая, цыганская песня в философии!"

Чтение, духовное развитие, круг общения -- все приводит к тому, что Андрей Белый осознает себя символистом.

За год до окончания гимназии он сближается с одноклассником Василием Владимировым: "...он великолепно рисует; главное: увлекается Врубелем, Малютиным, Римским-Корсаковым, русскою стариною и Григом; на переменах мы оживленно толкуем; и я его посвящаю в новую литературу и в философию искусства; он же ориентирует в новом русском искусстве; мы заражаем друг друга; общение в годах углубляется: Василий Васильевич Владимиров один из ближайших друзей моей юности и первых литературных лет". Вскоре к ним присоединяется еще один одноклассник, Дмитрий Янчин, и они втроем, как некогда Брюсов, "проповедуют" в классе символизм.

С начала 1899 года Андрей Белый уже выходит "из подполья" и начинает читать "стихи и отрывки в прозе Соловьевым", в этом году он сказал: "самоопределяюсь как писатель". Он пишет, кроме того, "две весьма дикие драмы", трактат о творчестве Ибсена, разрабатывает план и начинает писать мистерию "Пришедший" -- о пришествии Антихриста, эта мистерия представляется ему его "Фаустом".

Окончание в 1899 году гимназии и поступление в университет на химический факультет, продиктованное нежеланием огорчить отца и стремлением заняться естественными науками (хотя в будущем он намеревался окончить также и филологический факультет), не снижают интенсивности литературных занятий, он также много пишет, его планы грандиозны, он обращается к различным жанрам.

И здесь он также находит понимание и поддержку у Соловьевых. "О. М. нравится моя убогая проза; М. С. помалкивал со сдержанной благосклонностью; а за стихи -- смесь Бальмонта, Вердена и Фета -- таки и журил, не любя ни декадентов, ни романтиков; ну, а О. М.-- та отозвалась на весь романтический фронт: от баллад Жуковского, от поэзии Оссиана до "Песенок" М. Метерлинка; ей нравились в моей поэзии совершенно по-детски поданные багровые луны, самоубийцы, вампиры и прочие "жути".

Я же задумывал космическую эпопею, дичайшими фразами перестранная текст: из всех сил; окончив этот "шедевр", я увидел, что стиль не дорос до мировой поэмы: и тогда я начал смыкать сюжет до... субъективных импровизаций и просто сказочки; ее питали: мелодии Грига и собственные импровизации на рояле; сильно действовал романс "Королева" Грига; лесные чащи были навеяны балладою Грига, легкой в основу второй и третьей частей "Симфонии".

Из этих юношеских упражнений возникла "Северная симфония" к концу 1900 года".

"Северная симфония" (в 1900 г. она называлась просто "Симфония" и настоящее название получила в 1903 г. при подготовке к печати)--это легендарная сказка. Она насыщена мотивами и образами средневековых немецких и французских легенд, античной мифологии: замки, башни, рыцари, короли, королева, нечистая сила, оборотни, фавны, кентавры; нетрудно обнаружить в ней кроме названных самим автором и другие литературные источники, произведения живописи -- от средневековых художников до прерафаэлитов и Беклина, но все это творчески переосмыслено и представляет собой не подражание, а оригинальное произведение, передающее авторскую идею, авторское настроение. (Позже, прочтя "Северную симфонию", Блок так передаст свое впечатление о ней: "...больной от радости и печали".)

Сюжет "Северной симфонии" сказочно прост и прям: юноша, сын Черного рыцаря и сам по рождению принадлежащий к темному миру, встречает королеву -- олицетворение добра и света и в борьбе с собой и темными силами достигает белой блаженной обители.

*(Кстати, загадочный образ Иисуса Христа среди метели "в белом венчике из роз" в "Двенадцати" Блока, скорее всего, подсказан "Северной симфонией": "И когда рассеялись последние остатки дыма и темноты, на горизонте встал знакомый и чуть-чуть грустный облик в мантии из снежного тумана и в венке из белых, роз".)*

*Свой путь "к свету" Андрей Белый уподобляет наступлению весны: 1896--1897 годы -- "синие февральские сумерки", "предвесеннее чувство тревоги", к 1899 году -- переход "от февральских сумерок к мартовской схватке весны и зимы", "1899--1900 годы,-- пишет он,-- видятся мартом весны моей; с 1901 года уже я вступаю в мой май, то есть в цветение надежд, в зарю столетия".*

*"Северная симфония" отметила весенний рубеж. "Свет блеснул с холма в 1900 году,-- вспоминал Андрей Белый в письмах 1911 года к Блоку.-- "Северная симфония" отметила холм: "Мчался вперед безумный кентавр (на холм), крича, что вдали он увидел розовое небо, что оттуда виден рассвет".*

*1901 год -- особенный, единственный в своем роде год в жизни Андрея Белого; мистическое сознание первого года столетия сливалось с обретением творческой зрелости, подъема сил, счастливых встреч, глубоких и радостных переживаний, со счастьем удач.*

*"Есть узловые пункты,-- пишет он в книге "Начало века",-- стягивающие противоречивые устремления, пересекающие отвлеченные порывы с конкретной биографией: в такие моменты кажется: ты -- на вершине линии лет; перебой троп, по которым рыскал, сбиваясь с пути, вдруг являет единство многообразия; что виделось противоречивым, звучит гармонично; и что разрезало, как ножницы, согласно сомкнулось в крепнущей воле.*

*Такой момент -- 1901 год, ставший праздничным; этот год согласия жизни с мировоззрением, встреч с новыми друзьями, первой любви, признания меня -- М. С. Соловьевым, Брюсовым, Мережковским, начала биографии "Андрея Белого", нового столетия, совершеннолетия, роста физических сил".*

*Тогда же Андрей Белый ощутил и понял основную черту своего дарования: его многосторонность, требующую выражения в различных областях, но соединяющую все в нем как личности, включающую в себя не только творчество, но и житейское поведение, быт. Белый вспоминал: "В те годы чувствовал пересечение в себе: стихов, прозы, философии, музыки; знал: одно без другого -- изъян; а как совместить полноту -- не знал; не выяснилось: кто я? Теоретик, критик-пропагандист, поэт, прозаик, композитор? Какие-то силы толкались в груди, вызывая уверенность, что мне все доступно и что от меня зависит себя образовать; предстоящая судьба виделась клавиатурой, на которой я выбиваю симфонию; думается: генерал-бас, песни жизни есть музыка; не случайно: форма моих первых опытов есть "Симфония".*

*Ощущение занимающейся "зари", близкого откровения, земного явления Софии Премудрости -- весь творимый Белым художественно-философский миф к началу 1901 года приобретает невероятное напряжение и требует воплощения в жизни и творчестве.*

*В феврале, отмечает Андрей Белый, "наши ожидания какого-то преображения светом максимальны".*

*В феврале "на симфоническом концерте во время исполнения бетховенской симфонии", как рассказывает сам Андрей Белый, он встретился глазами с Маргаритой Кирилловной Морозовой, женой фабриканта, впоследствии хозяйкой известного литературно-музыкального салона, и эта "встреча глазами" отозвалась в нем глубокой мистической влюбленностью. "Душа обмирала в переживаниях первой влюбленности",-- вспоминал он впоследствии, но о реальном романе не могло быть и речи, "встреча с "дамой" ужаснула бы меня: пафос дистанции увеличивал чувство к даме; она стала мне "Дамой". "Беатриче" -- говорил я себе; а что дама -- большая и плотная, вызывающая удивление у москвичей,-- этого не хотел я знать, имея дело с ее воздушной тенью, проецированной на*

зарю и дающей мне подгляд в поэзию Фета, Гете, Данта, Владимира Соловьева; "дама" инспирировала; чего больше?" Правда, ирония появилась лишь в написанных три десятка лет спустя воспоминаниях, а тогда все было очень серьезно и глубоко.

Андрей Белый пишет и отсылает Морозовой письма, в которых пытается сформулировать и объяснить не столько ей, сколько себе тот миф, воплощением которого является она для него.

"Мы все переживаем зарю... Закатную или рассветную? Разве Вы ничего не знаете о великой грусти на заре? Озаренная грусть перевертывает все; она ставит людей как бы вне мира. Заревая грусть, -- только она вызвала это письмо...

Близкое становится далеким, далекое -- близким; не веря непонятному, получаешь отращивание к понятному. Погружаешься в сонную симфонию...

Разве Вы ничего не знаете о великой грусти на заре? <...>

Но все изменилось... Я нашел живой символ, индивидуальное знамя, все то, чего искал, но чему еще <не> настало время совершиться. Вы -- моя заря будущего. В Вас -- грядущее событие. Вы -- философия новой эры".

"Светозарна философия зорь. Пелена за пеленой спадает на горизонте, и вот, пока небо темно над головой, у горизонта оно жемчужное. Да.

Если в Вас воплощение Души Мира, Софии Премудрости божией, если Вы Символ Лучесветной Подруги -- Подруги светлых путей, если, наконец, заря светозарна, просветится и горизонт моих ожиданий.

Моя сказка. Мое счастье. И не мое только. Мое воплощенное откровение, благая весть моя, тайный мой стяг.

Развернется стяг. Это будет в день Вознесения".

Письма к Морозовой Андрей Белый подписывает: "Ваш рыцарь".

Он бродит по весеннему Арбату в надежде встретить, увидит Морозову, но от знакомства отказывается и в письмах несколько раз объясняет, что его влюбленность не имеет ничего общего с обычной любовью: "...из боязни, что Вы превратно поймете мою любовь, -- я объявляю, что совсем не люблю Вас"; "Мне не надо Вас знать как человека, потому что лучше я Вас узнал как символ, и провозгласил великим прообразом..."; "Мне не нужно ни лично Вас знать, ни знать, как Вы ко мне относитесь. Мое блаженство в том, что я Вас считаю сестрой в духе".

Морозова лишь два года спустя узнала, кто автор этих писем.

"Весной 1903 г., -- рассказывает она в воспоминаниях, -- я купила в книжном магазине небольшую книжку поэта Андрея Белого "Вторая симфония, драматическая", так как я о ней слышала от многих. Приехав домой, я раскрыла книжку и была поражена тем, что нашла в ней буквально выражения из этих писем рыцаря, и поняла, что под именем Сказки в этой симфонии он говорит обо мне". В 1905 году Андрея Белого представили Морозовой, он посещал ее салон, но, замечает она, он "всегда подходил ко мне, и мы немного и отрывочно беседовали на самые общие темы. Я его пригласила к нам, и он заходил раза два или три и при этом никогда ни одним словом, ни одним жестом не давал понять, что он мне писал".

В те же дни, когда писались первые письма к Морозовой, Андрей Белый при большом эмоциональном и творческом подъеме пишет новое литературное произведение, новую симфонию. Творческая свобода, кипение молодых сил, сознание того, что произведение получается, -- это радостное ощущение вдохновения, которое тогда пережил Андрей Белый, сохранилось в его памяти на всю жизнь со всей его яркостью, и свет этого вдохновения отразился и в воспоминаниях, написанных более трех десятилетий спустя.

"Помню таяние снега страстной; жару, раннюю Пасху, крик зорь; и мы с гимназистом Сережей бродили -- Арбатом, Пречистенкой; я -- искал видеть "даму", а он -- гимназистку свою, увлекая меня на Пречистенку (я же его возвращал на Арбат); мы круто писали зигзаги в кривых переулках; картина весны, улиц и пешеходов -- вдруг вырвалась первой частью "Симфонии", как дневник...

*И вот сдали физику; перед ботаникой оказывался ряд пустых дней; расцветает сирень; уже -- троичин день; вечер: я -- над Арбатом пустеющим, свесясь с балкона, слежу за прохожими; крыши уже остывают; а я ощущаю позыв: бормотать; вот к порогу балкона стол вынесен; на нем свеча и бумага; и я -- бормочу; над Арбатом, с балкончика; после -- записываю набормотанное. Так -- всю ночь: под зарею негаснущей.*

*Уже три часа ночи; духов день; не ложаюсь, я дописываю. Вот вторая часть кончена; резкий звонок: то неожиданно нагрянул ко мне Сережа, из Дедова; ему и прочел не просохшую еще рукопись...*

*-- В Дедово -- едем, читать родителям,-- сказал мне Сережа; и потащил".*

*После чтения "Симфонии" Андрей Белый услышал от Сергея Михайловича Соловьева две знаменательные фразы: "Вы -- писатель" и "Мы "Симфонию" напечатаем". О том, что значили для Андрея Белого сказанные тогда, в то время, эти слова, он свидетельствует в воспоминаниях: "Не будь Соловьевых, "писатель" к 1903 году совсем бы исчез с горизонта; но Соловьевы меня тут поддержали всемерно".*

*Третья часть "Симфонии" была также написана на едином дыхании в июне, "меж первым и пятым июнем", четвертая -- в июле.*

*Решено, что для издания необходим псевдоним: Борис Бугаев, как студент, не имел права выступать в печати, к тому же его останавливало и то, что фамилия отца, человека известного в Москве, будет стоять на "декадентской" книжке, и это может быть ему неприятно. Андрей Белый, "ломаю голову над псевдонимом", предложил "Борис Буревой". М. С. Соловьев отклонил его: "Нет, когда узнают, что автор -- вы, то будут смеяться: это не Буревой, а Бори вой..." Андрей Белый пишет, что его псевдоним придумал М. С. Соловьев, "руководствуясь лишь сочетанием звуков, а не аллегориями". Наверное, так и было в тот момент, когда изобретался псевдоним, рассуждений о его значении не было, но тем. не менее подспудный смысл, кажется, довольно прозрачен. Белый цвет имел в жизни и творчестве Андрея Белого особое, значащее, символическое значение: он в "Северной симфонии" олицетворяет доброе, светлое, явно авторское начало; в обыденной жизни Андрей Белый с Сережей Соловьевым играли "в белый цвет" -- сложную сюжетную игру борьбы мрака со светом. Имя же -- христианского апостола, первого легендарного просветителя славян -- также логично в приложении его к автору произведения, которое претендует на проповедь нового учения. Таким представляется возможный ход рассуждений при создании псевдонима.*

*М. С. Соловьев предложил рукопись "Симфонии" издательству "Скорпион" -- В. Я. Брюсову. Брюсов нашел "Симфонию" "прекрасным произведением" и сообщил, что издательство принимает ее, но выпустить в свет из-за отсутствия средств сможет только в будущем году. Соловьев решает издавать за собственный счет. Книга выходит с маркой издательства "Скорпион" в мае 1902 года.*

*"Книга,-- отметил Андрей Белый,-- в кругу знакомых имела успех скандала".*

*Псевдоним был раскрыт не сразу, некоторое время авторство "Симфонии" приписывал Брюсову. Андрею Белому пришлось выслушать от знакомых немало насмешек над "декадентской" книжкой. Однако все -- публика, критики,-- безо всяких сомнений и оговорок отнесли "Симфонию" к произведениям нового направления литературы -- символизма.*

*Андрей Белый считал "Симфонию" своим лучшим произведением. Но авторские пристрастия субъективны, и критика и литературоведение с ним не всегда согласны. Но то, что это самое дорогое ему сочинение, несомненно. Кроме того, в нем найдено и содержится почти все, что потом Андрей Белый будет разрабатывать на протяжении всего творческого пути: темы, идеи, круг образов, художественный язык.*

*Принципиальное отличие тональности этой "Симфонии" (музыкальная тональность у Андрея Белого имеет не только изобразительное, но и смысловое значение) от "Северной" отмечено подзаголовком: если первая обозначена как "1-я, героическая", то вторая-- "2-я, драматическая". "Драматичность" второй симфонии, при сохранении*

симфонической формы, выражается введением нового пласта действительности, от вневременности и условной территориальности, от высокой легендарной сказочности автор переходит к изображению Москвы 1901 года и своих современников, правда, и Москва и ее жители как бы растворяются в каком-то фантастическом мифе о городе и них самих, они одновременно и реальны и фантастичны.

Содержание второй симфонии -- вечная тема литературы и искусства: противостояние великого, светлого, чистого, творческого темному, ложному, косному, приспособленческому, противостояние творца и черни; с одной стороны -- предчувствие "света", "зорь", желание ослепительного сияния солнца (тема солнца, стремления к солнцу -- основная тема, основной образ и поэзии и прозы Андрея Белого этих лет), с другой стороны -- косное стремление выдать за солнце домашнюю лампу и утопить в рассуждениях и толкованиях великие идеи. Андрей Белый представляет в "Симфонии" галерею ложных пророков. "Сеть мистиков покрыла Москву", -- пишет он. Внешне они имитируют настоящую "мудрость": "Все собирающиеся в этом доме, помимо Канта, Платона и Шопенгауэра, прочитали Соловьева, заигрывали с Ницше и придавали великое значение индусской философии", но оказывается, что в действительности истина их не интересует, их интересы и деятельность или эгоистичны, или преследуют "ложные идеи", или просто глупы.

Идея ложного пророчества, идущая от Евангелия, -- "которые называют себя апостолами, а они не таковы" -- чрезвычайно занимает Андрея Белого, потому что история показала, что много высоких идей было погублено извращением и перетолкованием их в корыстных целях. Сюжет о приходе Антихриста под видом Христа разрабатывался им в юношеской мистерии "Пришествие".

Но разоблачением мистического шарлатанства ни в коей мере не ограничивается содержание "Симфонии"; авторская мысль, составляющая ее идею, -- вера в окончательную победу истины, в прозрение человечества, разоблачение ложных пророков и познание истины -- одна из главных мыслей христианства. Среди источников своего мировоззрения и творчества Андрей Белый в книгах своих воспоминаний, написанных и изданных в тридцатые годы, не мог с достаточной ясностью назвать один из основополагающих -- Евангелие. Но оно должно быть названо, так как основа его мировоззрения -- христианская этическая идея, правда воспринятая по-своему, субъективно. Говоря о Евангелии как священном, религиозном сочинении, мы забываем, что это -- величайшее художественное произведение, в том числе и с точки зрения художественной формы, и художественное воздействие Евангелия Андрей Белый также испытал на себе.

В том же 1901 году, когда создана вторая симфония, в сентябре Сергей Соловьев знакомит Андрея Белого со стихами своего родственника, петербургского студента Александра Блока. "Было ясно сознание: этот огромный художник -- наш, совсем наш, он есть выразитель интимнейшей нашей линии московских устремлений", -- передает Андрей Белый свое первое впечатление о стихах Блока. Его поражают совпадения строк Блока с тем, что пишет он сам. Параллельность, близость, совпадения будут отмечаться постоянно, вплоть до "Двенадцати" и написанной той же ранней весной 1918 года Андреем Белым поэмы "Христос воскрес".

В статье "Александр Блок" Брюсов писал: "Еще совсем юноша, А. Блок примыкал тогда, хотя жил в Петербурге, к небольшому московскому кружку молодых поэтов (Андрей Белый, С. Соловьев и др.)". Тогда еще нельзя было предвидеть, что "небольшой московский кружок" станет огромным явлением русской литературы, окажет решающее влияние на ее развитие и сохранит это влияние до настоящего времени.

В "московском кружке" вторая симфония встретила полное понимание. "По-моему, это вещь грандиозная", -- пишет С. Соловьеву А. Блок еще до знакомства с Андреем Белым. Позже он написал рецензию на нее, о которой редактор, печатавший ее, П. Перцев, в своих воспоминаниях говорит: "Статья... была настолько лирически-субъективна,

представляла, собственно, не "критическую" статью, а такой зов другой, родной души, что мы поместили ее даже не в отделе "Литературной хроники", а в отдел "Из частной переписки"... Так вместо рецензии получилось еще одно стихотворение из цикла Прекрасной Дамы, которое только прозаическая форма не допустила в сборник".

Московский кружок Андрея Белого, состоявший из его друзей и знакомых, близких по взглядам, в 1901--1904 годах расширился, в него входили и литераторы, и музыканты, и ученые, собственно, это был не литературный кружок, а литературно-философское общество с широкими интересами. Они называли себя "аргонавтами", в память о мифических путешественниках, отправившихся за золотым руном.

Вообще значение дружеских кружков, объединений в утверждении нового направления, стиля, школы в литературе и искусстве, как показывает история, необычайно велико. Создание кружка "аргонавтов" также сыграло огромную роль в утверждении в русской литературе молодых символистов (или, как их называют еще в литературе, младосимволистов).

Среди прочих элементов кружка обязательно в нем культивировался свой язык, свои словечки со своими, условными, значениями, своя мифология. Так бывало всегда: и у немецких романтиков-мистиков конца XVIII века, и в реалистичнейшей горьковской "Среде". Описывая язык "аргонавтов", Андрей Белый говорит:

"...многое в стиле обращения друг к другу, в стиле даже восприятия друг друга может показаться ненатуральным, ходульным: виноват не я, а время: в настоящее время так не говорят, не шутят, не воспринимают друг друга, а в 1902--1904 годах в наших кружках так именно воспринимали друг друга, так именно шутили; многие из каламбурных метафор того времени теперь выглядели бы мистикой; например, мифологический жаргон наших шуток теперь непонятен; ну кто станет затевать в полях "галоп кентавров", как мы, два химика и этнограф (я, С. Л. Иванов, В. В. Владимиров)?

Но "кентавр", "фавн" для нас были в те годы не какими-нибудь "стихийными духами", а способами восприятия, как Коробочка, Яичница, образы полотен Штука, Клингера, Бёклина; музыка Грига, Ребикова; стихи Брюсова, мои полны персонажей этого рода; поэтому мы, посетители выставок и концертов, в наших шутках эксплуатировали и Бёклина, и Штука, и Грига; и говорили: "Этот приват-доцент -- фавн". <...>

В XVIII веке носили парики и Матрену называли Пленирой; в XIX веке сняли парики; в 1901 году студенты-естественники говорили: "Здесь бегал фавн"; под фавном же разумели... приват-доцента Крапивина".

Кружковая мифология "аргонавтов" мифологизировала всю жизнь кружковцев, которые распространили миф на все окружающее, населили иллюзорно реальными мифическими существами; Андрей Белый даже отпечатал их визитные карточки и рассылал знакомым, они вошли в творчество кружковцев: Владимиров рисовал кентавров, Андрей Белый писал о них стихи. Одной из задач своей творческой программы они считали возрождение мифа в жизни и культуре.

Этот мифический мир юности, широко представленный в его ранних произведениях, всегда оставался дорог Андрею Белому.

Нырять в сумерок дубравный,  
Здесь суматошливые фавны  
Язык показывают свой,  
И бродит карла своенравный,  
Как гриб, напучась головой...

И кто-то скачет вдоль дороги,  
Свои вытягивая ноги  
На перепрелый, серый пень...  
Маячит -- сумрак черноногий;

*И плачет белоногий день,--*

*это строки из стихотворения "Лес", написанного в 1931 году в подмосковном дачном Кучине, где Андрей Белый жил летом в последние годы.*

*В то время, когда вторая симфония печатается, Андрей Белый пишет третью; он собирается "написать ряд "Симфоний" и выставить в них рой религиозно-философских чудаков".*

*В третьей симфонии -- "Возврат" -- опять представлена та же среда, что и во второй, те же гротескные характеристики, широкий спектр интеллектуальных интересов, но главной темой "Возврата" становится тема бесконечности жизни в ее повторяемости от древнейших правремен, в возврате. Про главного героя третьей симфонии магистранта-химика Хандрикова он пишет: "Каждая вселенная заключает в себе Хандрикова... А во времени уже не раз повторялся Хандриков". Как основную идею "Возврата" Андрей Белый (в книге воспоминаний "На рубеже двух столетий") выделяет в нем мысль: "Мы живем одновременно и в отдаленном прошлом, и в настоящем, и в будущем. И нет ни времени, ни пространства. И мы пользуемся всем этим для простоты".*

*Воспоминания о прабытии, по Андрею Белому, сохраняются в подсознании человека, но заглушены его сознательной жизнью и пробуждаются, когда отступает сознание. Так и к Хандрикову только в сумасшествии возвращается прапамять.*

*В "Возврате" две сюжетные линии -- линия видений Хандрикова, мифическая, и линия московского быта, изображенная реалистически и сатирически.*

*Работа над третьей симфонией продолжалась в течение трех лет, и была она издана лишь в 1905 году. В "Возврате" в отличие от предыдущих симфоний более четок сюжет, его повествовательность нарушает принятые Андреем Белым для этого жанра принципы, и, видимо, поэтому в издании 1922 года он убирает подзаголовок "Третья симфония" и ставит более нейтральное "повесть". Правда, позже, в середине двадцатых годов, составляя проект собрания сочинений (неосуществленного), он возвращает прежнее жанровое определение.*

*Цикл симфоний Андрея Белого завершает четвертая симфония "Кубок метелей" (издана в 1908 г.). Она вобрала в себя его духовный и общественный опыт лет, отмеченных социальными и личными бурями, опыт, заключавший в себе тяжкие испытания и разочарования и в то же время принесший ему новые надежды. Первые наброски "Кубка метелей" сделаны в июне 1902 года, затем с перерывами Андрей Белый возвращался к работе над книгой, дописывая и кардинально переделывая, в 1905--1906 годах и позднее.*

*В "Кубке метелей" он вновь разрабатывает и совершенствует симфоническую форму, теоретические основы которой излагает в предпосланном симфонии предисловии.*

*Там же, в предисловии, он раскрывает идею четвертой симфонии: "В предлагаемой симфонии я хотел изобразить всю гамму той особого рода любви, которую смутно преощущает наша эпоха, как преощущали ее и раньше Платон, Гете, Данте,-- священной любви... Должен оговориться, что пока я не вижу достоверных путей реализации этого смутного зова от любви к религии любви".*

*"Кубок метелей" -- произведение исповедальное и страстное. Посылая книгу Блоку "с нежной надписью", он просит: "Дорогой Саша, напиши мне, если Тебе не трудно, что Ты слышал о "Симфонии". Она самая искренняя моя из всех 4-х, наиболее трудная для понимания; ...Никто ее, кажется, не принимает. Не верят, что от очень большой искренности она писана". Андрей Белый в своей искренности, не щадя себя, не щадил никого, поверяя высокой и неллицеприятной мерой взгляды современников, находя в них позу, ложь, притворство, он называет их настоящими именами (в отличие от измененных имен второй симфонии), изображает в карикатурном виде, среди них близкие знакомые и друзья: Федор Сологуб, Ремизов, Городецкий, Блок... Четвертая симфония*

вызвала почти всеобщую обиду и резко критические отзывы. Блок ответил: "Я прочел "Кубок метелей" и нашел эту книгу не только чуждой, но глубоко враждебной мне по духу". Андрей Белый был огорчен, но остался уверен в своей окончательной творческой правоте. "Брань, которой встретила критика мою книгу, и непонимание ее со стороны лиц, сочувствовавших доселе моей литературной деятельности,-- писал он тогда,-- все это укрепляет меня в мысли, что оценка этого произведения (окончательное осуждение или признание) в будущем". Время подтверждает его правоту. Признание этой книги -- ее замечательной музыкальности и живописности, светлой страсти, глубины наблюдений и мыслей,-- к сожалению, еще не наступило, она так ни разу и не была переиздана, но шаг к признанию был сделан в 1910 году, когда Блок, после двухлетнего разрыва, смог более объективно судить о четвертой симфонии Андрея Белого и написал ему: "Милый Боря!.. Часто думаю о Тебе. Я перечитывал "Кубок метелей" -- совсем по-новому; но когда-нибудь буду перечитывать его еще иначе и еще лучше".

Пожаром склон неба объят...  
И вот аргонавты нам в рог отлетаний  
трубят...  
Внимайте, внимайте...  
Довольно страданий!  
Броню надевайте  
из солнечной ткани!

Зовет за собою  
старик аргонавт,  
взывает  
трубой  
золотою:  
"За солнцем, за солнцем, свободу любя,  
умчимся в эфир  
голубой!.."

Старик аргонавт призывает на солнечный пир,  
трубя  
в золотеющий мир.  
(Андрей Белый. "Золотое руно". 1903)

Работу над романом "Котик Летаев" Андрей Белый начал в 1915 году. Этот роман, по замыслу автора, должен был стать первой частью, первоначально названной им "Годы младенчества", "огромного романа "Моя жизнь".

Замысел создания автобиографической эпопеи (как впоследствии он охарактеризует свою мемуарную прозу) быстро расширялся и углублялся. Сначала Андрей Белый предполагал, что роман "Моя жизнь" будет третьей частью трилогии, обрисовывающей Россию начала века, двумя предыдущими которой он считал романы "Серебряный голубь" и "Петербург", но затем этот замысел обрел полную самостоятельность и, в свою очередь, разросся и, как пишет Андрей Белый в ноябре 1915 года Р. В. Иванову-Разумнику, "грозит быть трехтомием". Тогда же первая часть первого тома получает название "Котик Летаев".

По плану автора, роман "Моя жизнь" должен был состоять из семи частей: "Котик Летаев" (годы младенчества), "Коля Летаев" (годы отрочества), "Николай Летаев" (юность), "Леонид Ледяной" (мужество), "Свет с востока" (восток), "Сфинкс" (запад), "У преддверия Храма" (мировая война), то есть охватывал всю его жизнь, до дня возникновения замысла. Притом, отмечает Андрей Белый, "каждая часть --

самостоятельное целое". Осуществлен этот замысел был лишь частично, фактически окончательно доработанной частью стал лишь "Котик Летаев". Но надобно сказать, что "самостоятельность" этого романа оказалась более самостоятельной, чем предполагал автор: повествование о годах младенчества требовало выполнения совсем иной задачи и иными художественными средствами, чем о последующей жизни.

В 1892 году в малоизвестном сборнике "Русским матерям" Л. Н. Толстой напечатал отрывок из незаконченной рукописи "Моя жизнь" -- "Первые воспоминания", в котором он, приводя два очень неотчетливых воспоминания, которые только и помнятся ему из первых пяти лет жизни, пишет: "Странно и страшно подумать, что от рождения и до трех, четырех лет, в то время, когда я кормился грудью, меня отняли от груди, я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного воспоминания, кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? <...> Разве я не жил тогда, в эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, спал, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать? Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и 1/100 того. От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего -- страшное расстояние. От зародыша до новорожденного -- пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость".

Андрей Белый, по его словам, обладал "необыкновенно длинной памятью: я себя помню (в мигах), боюсь сказать, а -- приходится: на рубеже 3-ьего года (двух лет!). Я помню совсем особый мир, в котором я жил". Конечно, в воспоминаниях Андрея Белого о "первейших событиях жизни" (выражение из "Котика Летаева") кроме феноменальной памяти присутствуют знание взрослого человека, целенаправленные усилия -- вспомнить, то есть пробудить подсознательную память, что, как он считает, в силах художника.

В 1916 году Андрей Белый печатает отрывки "Котика Летаева", в 1917--1918-х -- полностью в альманахе "Скифы", в 1922-м -- выходит отдельное книжное издание.

"Котик Летаев" произведение новаторское не только по содержанию, но и по форме. Оно развивало уже найденные им ранее в симфониях принципы, связь с симфониями засвидетельствовал сам автор в объявлении о выходе романа в 1918 году: "Котик Летаев. Симфоническая повесть о детстве". При издании этот подзаголовок, определяющий жанр, был снят, но музыкальное построение частей, подчеркиваемое разными средствами, в том числе типографским набором, совершенно очевидно.

В романе проходят как бы два уровня изображения, первый -- внешних событий, быта. Тут Андрей Белый выступает как замечательный бытописатель, подмечая и фиксируя характерные мелочи старого московского быта, речи, многие из которых сейчас ушли из нашей жизни и забыты; вроде присловья, говорившегося, когда сухарик размачивали в чаю: "а мы его, грешника, в воду", вышедшего из обычая в тридцатые годы. Люди, окружавшие Котика, также точно и достоверно выписанные исторические личности: хотя большинство имен изменено, они легко расшифровываются, это те же персонажи, о которых под их действительными именами он рассказывает в мемуарных книгах "На рубеже двух столетий" и "Начало века".

Второй уровень романа -- внутренняя жизнь, психология ребенка. В предисловии к неосуществленному изданию "Котика Летаева" в 1928 году Андрей Белый объясняет особенность психологии раннего детства: "...дети иначе воспринимают факты; они воспринимают их так, как воспринял бы их допотопный взрослый человек. Вырастая, мы это забываем; проблема умения, так сказать, внырнуть в детскую душу связана с умением раздуть в себе намокший на угаснувшую память -- в картину. Это и есть тема "Котика". <...> Ребенок начинает сознавать еще в полусознательном периоде; он сознает, например, процессы роста, обмена веществ, как своего рода мифы ощущений; <...> всякую метафору он переживал, как реальность; отсюда -- органический мифологизм, сон наяву, от которого позднее освобождается сознание (после 4-х лет);

сперва ребенок верит в реальность метафорических миров (Андрей Белый приводит пример: если в выражении "он упал в обморок" ребенку не объяснить метафору упал, "ребенок же думает: обморок -- нечто вроде погребя, куда падают; и миф -- готов"); потом играет в них период "сказки"; и потом уже: ребенок мыслит абстракциями".

Андрей Белый много раз повторял, что его язык -- "косноязычие". Действительно, при поверхностном, внешнем чтении он бывает невнятен, непонятен, вроде бы повторяет одно и то же, но это лишь внешнее, ленивое впечатление: Андрей Белый -- великолепный стилист, но при этом, прежде всего, он ставит своей задачей словом как можно точнее передать чувство, движение мысли и обостренно ощущает их невыразимость ("как сердцу высказать себя"), поэтому ищет, ищет точного словесного соответствия, развивая, уточняя, присоединяя определение к определению, слово к слову,-- и при всей невыразимости чувства словом достигает удивительного сближения их.

Современная критика писала о "невнятице", непонятности "Котика Летаева", но приведем лишь один отзыв на первую полную публикацию 1918 года, отзыв Сергея Есенина: "Мы очень многим обязаны Андрею Белому, его удивительной протянутости слова от тверди к вселенной. Оно как бы вылеплено у него из пространства. <...> В "Котике Летаеве" -- гениальнейшем произведении нашего времени -- он зачерпнул словом то самое, о чем мы мыслили только тенями мыслей, наяву выдернул хвост у приснившегося ему во сне голубя и ясно вырисовал скрытые от нас возможности отделяться душой от тела, как от чешуи". Рецензия Сергея Есенина о романе Андрея Белого называется "Отчее слово".

Творческое наследие Андрея Белого огромно, при жизни им было издано 46 книг (не считая переизданий), напечатано около 400 статей, очерков, рассказов, большое количество стихотворений, поэм. Но многое осталось неопубликованным, незавершенным. Кроме того, необходимо учитывать еще его эпистолярное наследие, им написаны тысячи писем, из которых опубликована лишь небольшая часть, правда, среди опубликованного такая значительная переписка, как переписка с Блоком. Письма Андрея Белого в большинстве своем тесно связаны с его художественным творчеством и критикой, иногда просто переходят в художественное произведение (как было, например, с письмами к Морозовой) или в критическую, философскую статью. Можно формально разделить произведения Андрея Белого по жанрам, но это разделение будет весьма условным по существу, потому что, относя произведение к тому или иному жанру, придется тут же делать оговорки: об элементах научного трактата в романе, художественной прозы в статье, романности в мемуарах и мемуарности в повести. Все написанное Андреем Белым -- единый акт художественного самовыражения (вернее, выражения эпохи). А. М. Горький назвал его творчество единым миром, планетой.

В 1922 году в письме к Б. А. Пильняку, которого тогдашняя критика считала последователем и подражателем Андрея Белого, он пишет: "...Белый, человек очень тонкий, рафинированной культуры, это писатель на исключительную тему, существо его -- философствующее чувство, Белому нельзя подражать, не принимая его целиком, со всеми его атрибутами как некий своеобразный мир,-- как планету, на которой свой -- своеобразный -- растительный, животный и духовный миры".

Мир Андрея Белого, в который советскому читателю, как и во многие другие духовные миры отечественной культуры, в течение многих десятилетий был закрыт доступ, что трагически обеднило духовный и интеллектуальный потенциал нескольких поколений, теперь начинает становиться доступным. Мир -- малоизвестный, неисследованный, но обещающий замечательные открытия и глубокие откровения.

Его симфонии -- начало творческого пути писателя и мыслителя. Глубже и вернее понимает книгу тот, кто приступает к ее чтению с начала, с первых страниц.

Андрей Белый

-----  
-----  
Белый Андрей. Старый Арбат: Повести.- М.: Моск. рабочий,  
1989.-  
(Литературная летопись Москвы).  
OCR Бычков М. Н. mailto:bmnl@lib.ru  
-----  
-----

работала  
Асе ее  
Наташа  
вспоминаешь,  
того  
было еще  
Том II)

Посвящаю повесть мою той, кто  
над нею вместе со мною -  
- посвящаю  
- Знаешь, я думаю, - сказала  
шепотом... - что когда  
вспоминаешь, все вспоминаешь, до  
довспоминаешься, что помнишь то, что  
прежде, чем я была на свете...  
(Л. Толстой. "Война и мир".

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

Здесь, на крутосекущей черте, - в прошлое я бросаю немые и  
долгие  
взоры...  
Мне - тридцать пять лет: самосознание разорвало мне мозг и  
кинулось в  
детство; я с разорванным мозгом смотрю, как дымятся мне клубы  
событий; как  
бегут они вспять...  
Прошлое протянуто в душу; на рубеже третьего года встаю пред  
собой; мы  
- друг с другом беседуем; мы - понимаем друг друга.  
Прошлый путь протянулся отчетливо: от ущелий первых младенческих  
лет до  
крутизн этого самосознающего мига; и от крутизн его до предсмертных  
ущелий -  
сбегает Грядущее; в них ледник изольется опять: водопадами чувств.  
Мысли этого мига тронутся мне вдогонку лавиной; и в снежном  
крутне  
померкнет такое мне близкое, над головою висящее небо: изнемогу  
я над  
пропастью; путь нисхождения страшен...  
Я стою здесь, в горах: так же я стоял, среди гор, убежав от  
людей; от  
далеких, от близких; и оставил в долине - себя самого, протянувшего  
руки...  
к далеким вершинам, где: -  
- каменистые пики грозились; вставали  
под небо;  
перекликались друг с другом; образовали огромную полифонию:  
творимого  
космоса; и тяжковесно, отвесно - громоздились громадины; в оскалы  
провалов  
вставали туманы; мертвенно реяли облака; и - проливались дожди;  
бегали

издали быстрые линии пиков; пальцы пиков протягивались, лазурные  
многозубия  
истекали бледными ледниками, и нервные, бледные линии гребнились  
повсюду;  
жестикულიровал и расставлялся рельеф; пенились, проливались  
потоки с  
огромных престолов; и говор громового голоса сопровождал меня  
всюду: по  
часам плясали в глазах на бегу: стены, сосны, потоки и пропасти,  
камни,  
кладбища, деревеньки, мосты; пурпур трепаных мхов кровянил все  
ландшафты;  
крутни мокрого пара стремительно выбегали в расколах громадин; и -  
падали:  
между водою и солнцем; обдавал танцующий пар; начинал хлестать мне  
в лицо;  
облако падало под ноги: в космы потока пряталась бурно бившая  
пена под  
молоком; но под ним все: - дрожало, рыдало, гремело, стенало и  
пробивалось в  
редеющем молоке теми же водными космами...  
Я стою здесь, в горах: и потоки все те же -  
- с на краю их  
обсевшими  
старыми, деревянно резными домами подножной деревни и с  
церковною  
колоколенькой; "клянчат" звонкие колокольца коров неугомонно и  
весело - в  
серо-черном, в обсвистанном, ветром облизанном мире, где  
бросаются сосны  
приступом на чистейшие ледники, чтоб... разбиться о стену; вот  
подбросилась  
последняя сосенка; и - повисла; вон бегущие ветры в ветвях  
разрешаются в  
свисты под черным ревом утесов; вон - гортанный фэгот... меж  
утесами...  
углубляет ущелье под четкими, чистыми гранями серых громад; вдруг  
почудятся  
звуки оттуда: серебристых арфистов, цитристов; там - алмазится  
снег; там,  
оттуда - посмотрит тот с\_а\_м\_ы\_й (а\_к\_т\_о - т\_ы\_н\_е\_з\_н\_а\_е\_ш\_ь); и  
- т\_е\_м  
с\_а\_м\_ы\_м\_ в\_з\_г\_л\_я\_д\_о\_м (каким - ты не знаешь) посмотрит,  
прорезав  
покровы природы; и - отдаваясь в душе: исконно-знакомым,  
заветнейшим,  
незабываемым никогда...  
Я стою здесь, в горах: меня ждет - нисхождение; путь  
нисхождения  
страшен...  
. . . . .  
. . . . .  
Мысли этого мига тронутся мне вдогонку лавиной; и в снежном  
крутне  
потускнеет такое мне близкое, над головою висящее небо: изнемогу  
я над  
пропастью.  
Через тридцать пять лет уже вырвется у меня мое тело...  
. . . . .  
. . . . .  
Восхождение - благодатно: в нем укрыт счет стремнинам; в  
воспоминании,  
как не бывшие, - они стоят: вот и вот.  
Здесь и здесь ты бывал: здесь и здесь. Как же ты не сорвался?

В воспоминании сам с собой говорю: - здесь, на крутосекущей  
черте: -

-  
"Под ногами все то, что когда-то болезненно из тебя  
вырастало и  
что было тобою;  
- "что мертвым камнем отваливалось и твердилось утесами...  
- "Природа, тебя обстающая, - ты; среди ее угрюмых ущелий  
ты мне  
виден, младенец...  
- "Ты, как я: ты - еси; мы друг в друге - узнали друг  
друга: все,  
что было, что есть и что будет, оно - между нами:  
самосознание - в  
объятиях наших..."

. . . . .  
Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза и  
сломаило все -  
до первой вспышки сознания; сломан лед: слов, понятий и  
смыслов;  
многообразие рассудочных истин проросло и охвачено ритмами;  
архитектоника  
ритмов осмыслилась и отряхнула былые мне смыслы, как мертвые листья;  
СМЫСЛ  
есть жизнь: м\_о\_я ж\_и\_з\_н\_ь; она - в ритме годин: в жестикуляции, в  
мимике  
мимо летящих событий; слово - мимика, танец, улыбка.  
Понятия - водометные капли: в неперемежном кипении, в  
преломлении  
смыслов они, поднимающем радугу из них встающего мира; объяснение -  
радуга;  
в танце смыслов - она: в танце слов; в смысле, в слове, как в капле,  
- нет  
радуги...

. . . . .  
Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза.  
Вижу там: пережитое - пережито мной; только мной; сознание  
детства, -  
сместись оно, осиль оно тридцатидвухлетие это, - в точке этого мига  
детство  
узнало б себя: с самосознанием оно слито; падает все между ними;  
листопадами  
носятся смыслы слов: они отвалились от древа: и невнятица слов вкруг  
меня -  
шелестит и порхает; смыслы их я отверг; передо мной - первое  
сознание  
детства; и мы - обнимаемся:  
- "Здравствуй, ты, странное!"

1915 г. Октябрь  
Гошенен - Амстэг - Глион - С. Морис

ГЛАВА ПЕРВАЯ  
БРЕДОВЫЙ ЛАБИРИНТ

невывразимой...  
во всем.  
Тютчев

Час тоски  
Все - во мне... И я -  
Ф.

"ТЫ - ЕСИ"

Первое "т\_ы - е\_с\_и" схватывает меня без\_о\_бразными бредами: и -  
какими-то стародавними, знакомыми искони:  
невывразимости,  
небывалости лежания сознания в теле, ощущение  
математически  
точное, что ты - и ты, и не ты, а... какое-то набухание в  
никуда и  
ничто, которое все равно не осилить, и -  
- "Что это?.."  
Так бы я стусил словом неизреченность восстания моей  
младенческой  
жизни: -  
- боль сидения в органах; ощущения были ужасны; и -  
беспредметны;  
тем не менее - стародавни: исконно-знакомы: -  
- не было разделения  
на "Я" и  
"н\_е - Я", не было ни пространства, ни времени...  
И вместо этого было: -  
- состояние натяжения ощущений; будто все-  
все-все  
ширилось: расширялось, душило; и начинало носиться в себе  
крылорогими  
тучами.  
Позднее возникло подобие: п\_е\_р\_е\_ж\_и\_в\_а\_ю\_щ\_и\_й с\_е\_б\_я  
ш\_а\_р;  
многоочитый и обращенный в себя, переживающий себя шар ощущал  
лишь -  
"внутри"; ощущались неодолимые дали: с периферии и к... центру.  
И сознание было: сознаванием необъятного, обниманием  
необъятного;  
неодолимые дали пространств ощущались ужасно; ощущение выбегало с  
окружности  
шарового подобия - щупать: внутри себя... дальше; ощущением сон  
знание  
лезло: внутри себя... внутрь себя - достигалось смутное знание:  
переносилось  
сознание; с периферии какими-то крылорогими тучами несло оно к  
центру; и -  
мучилось.  
- "Так нельзя.  
- "Без конца...  
- "Перетягиваюсь...  
- "Помогите..."  
Центр - вспыхивал: -  
- "Я - один в необъятном.  
- "Ничего внутри: все - вовне..."  
И опять угасал. Сознание, расширяясь, бежало обратно.  
- "Так нельзя, так нельзя: Помогите...  
"Я - ширюсь..." -  
- так сказал бы младенец, если бы мог он  
сказать, если  
б мог он понять; и - сказать он не мог; и - понять он не мог; и -  
младенец  
кричал: отчего - не понимали, не поняли.  
. . . . .

#### ОБРАЗОВАНИЕ СОЗНАНИЯ

В то далекое время "Я" не был... -  
- Было хилое тело; и сознание, обнимая его, переживало  
себя в

непроницаемой необъятности; тем не менее, пронизаясь сознанием,  
тело  
пучилось ростом, будто грецкая губка, вобравшая в себя воду;  
сознание было  
вне тела; в месте тела Ние ощущался громадный провал: сознания в  
нашем  
смысле, где еще мысли не было, где еще возникали... -  
- (если бы  
ощущения эти  
остались мне в моих будущих днях и если бы в это  
темное место  
взошло полноумие их и осветило б мне тело; если бы  
повернуться мне  
взором в себя и осветить мне себя; - то увидел бы я:  
наше небо;  
облака там бегут на громах в моем небе духовно-  
душевности  
белоходным изливом; а изливы - ветрятся, ветвятся; и -  
л\_и\_стятся;  
раскидается мыслями все; и это все отражается: в небе  
над нами;  
оттого-то оно говорит; и оттого оно - ведомо...) -  
- где  
еще мысли  
не было, где еще возникали мне: первые кипения бреда.  
. . . . .  
Образовались мне накипи: накипала мне теплота; и я мучился  
красным  
исхаром; перекипало сознанием облитое тело (зашипает пузырьчатой пеною  
кости  
в кислотах); и накипел... первый образ: закипела в образах моя  
жизнь; и  
возникали на накипях накипи мне; -  
- предметы и мысли...  
. . . . .  
Мир и мысль - только накипи: грозных космических образов; их  
полетом  
пульсирует кровь; их огнями засвечены мысли; и эти образы - мифы.  
Мифы - древнее бытие: материками, морями вставали когда-то мне  
мифы; в  
них ребенок бродил; в них и бредил, как все: все сперва в них  
бродили; и  
когда прова^ лились они, то забредили ими... впервые, сначала - в них  
жили.  
Ныне древние мифы морями упали под ноги; и океанами бредов  
бушуют и  
лижут нам тверди: земель и сознаний; видимость возникала в них;  
возникало  
"Я" и "Не -Я"; возникали отдельности... Но моря выступали: роковое  
наследие,  
космос, врывался в действительность; тщетно прятались в ее  
ключья; в  
беспокровности таяло все: все-все ширилось; пропадали земли в  
морях;  
изрывалось сознание в мифах ужасной праматери; и потопа кипели.  
Строилась - мысль-ковчег; по ней плыли сознания от ушедшего  
под ноги  
мира до... нового мира.  
Роковые потопа бушуют в нас (порог сознания - шаток) : берегись,  
- они  
хлынут.

МЫ ВОЗНИКЛИ В МОРЯХ

В нас мифы - морей: "М\_а\_т\_е\_р\_е\_й": и бушуют они красноярми  
сворами  
бредов...

Мое детское тело есть бред "м\_а\_т\_е\_р\_е\_й"; вне его - только  
глаз; он -  
пузырь на летящей пучине; возникнет и... нет его; я одной головой  
еще в  
мире: ногами - в утробе; утроба связала мне ноги: и ощущаю себя -  
змееногим;

и мысли мои - змееногие мифы: переживаю т\_и\_т\_а\_н\_н\_о\_с\_т\_и\_.

Пучинны все мысли: океан бьется в каждой; и проливается в  
тело -  
космической бурей; восстающая детская мысль напоминает комету; вот  
она в  
тело падает; и - кровавится ее хвост: и - дождями кровавых  
карбункулов  
изливается: в океан ощущений; и между телом и мыслью, пучиной воды и  
огня,  
кто-то бросил с размаху ребенка, и - страшно ребенку.

. . . . .  
- "Помогите...  
- "Нет мочи...  
- "Спасите..."

. . . . .  
- "Это, барыня, рост"...  
. . . . .  
- "Помогите...  
- "Нет мочи...  
- "Спасите..."

. . . . .  
Так кричать не умеет младенец (так кричать будет после он);  
з\_м\_е\_и  
ползают - в нем, вокруг него; наполняют его колыбель; и - шипят ему в  
уши.

Этот шип слышал ты - в тихий час полудневный, когда все  
замирает, а  
солнце стреляет лучами...  
Ты этот свист уже слышал: свист сосен.  
. . . . .  
Продолжаю обкладывать словом первейшие события жизни: -  
-

ощущение мне -  
змея: в нем - желание, чувство и мысль убегают в одно  
змееногое,  
громадное тело: Титана; Титан - душит меня; и  
сознание мое  
вырывается: вырвалось - нет его... -  
- за исключением

какого-то  
пункта, низверженного -  
- в нуллионы Эонов! -  
- осилить безмерное...

Он - не осиливал.  
. . . . .  
Вот - первое событие бытия; воспоминание его держит прочно; и -  
точно  
описывает; если оно таково (а оно таково), -  
- д\_о\_т\_е\_л\_е\_с\_н\_а\_я  
жизнь  
одним краем своим обнажена... в факте памяти.

СТАРУХА

Первое подобие образаросло на безобразии моих состояний.

Не сон оно: сон есть то, от чего просыпаются; Я же... -  
еще не  
проснулся; действительность, сон не чередовались друг с другом в мне  
данном

мире. Самая д\_а\_н\_н\_о\_с\_т\_ь стояла тяжелым вопросом...

Непробудности мне роились д\_о\_я\_в\_и\_ -

- в кипениях я и жил и

боролся! -

-

непробудности, неподобные снам...

Нет, не сны они, а - сказал бы я -

- подсматривания себе за

спину; и -

желание тронуться с места; не носимости в вихрях

бессмыслицы,

развиваемой тысячекрыло, мгновенно и распадающейся в

тысячи

тысячекрыло летящих смерчей, - не такие носимости в "Я" (с

внутри

его лежащим пространством), а... - движение в ч\_е\_м-

т\_о: меня

самого (мне пространство сложилось уж)... -

-

Тронься -

н\_а\_ч\_и\_н\_а\_л\_о\_с\_ь, с\_л\_а\_г\_а\_л\_о\_с\_ь - более всего за спиной:  
что-то

такое; оно - не было мною, а было - такое огневое, красное:  
шаровое и

жаровое; словом - старухинское: почему? Этого сказать я не мог.

Без\_о\_бразие строилось в образ: и - строился образ.

Невыразимости, небывалости лежания сознания в теле, ощущение,  
что ты -

и ты, и не ты, а какое-то набухание, переживалось теперь  
приблизительно так:

-

- ты - не ты, потому, что рядом с тобой с\_т\_а\_р\_у\_х\_а - в тебя  
полувлипла:

шаровая и жаровая; это она н\_а\_б\_у\_х\_а\_е\_т; а ты -  
нет: ты -

т\_а\_к\_с\_е\_б\_е, н\_и\_ч\_е\_г\_о\_с\_е\_б\_е, ни при чем себе... -

-

Но все

начинало с\_т\_а\_р\_у\_ш\_и\_т\_ь\_с\_я.

Я опять наливался старухой: наливается так дряблый зоб  
индюка - в

ярко-красные пучности; протяжение, натяжение в окружающем, в  
глотающем, в

лезущем - в суетном, в водоворотно-пустом - оказывалось: незримо-  
лежащим,

припавшим, сосущим; стоило тебе тронуться, как оно, лежащее  
рядом и

откровенно старушечье, -

- опрометью кидалось прочь; на мгновение

становилось

мне зримо: -

- будто таяла сама тьма огневыми прорезями:

молнийный

многоног огнерогими стаями распространялся и бегал в

исколотой,

черной тверди... -

- тогда вспыхивал яркий шар и... - в

красный мир

колесающих карбункулов распадались темноты...

. . . . .

Я не знаю, когда это было, но я... подсмотрел ее: у себя за спиной, -

-

когда она, описывая в пространстве дугу, рушилась мне прямо в спину: из ураганов красного мира, стреляя дождями карбункулов; выгнулась ее бело-каленая голова с жующим ртом в очень злыми глазами; я несся в пропасть; и надо мною утесами света и жара она ниспадала - мне в спину; и, ухвативши за спину, описывала со мною в пространствах, .. - колеса... -

- Сам я был колесом.

Думаю, что "с\_т\_а\_р\_у\_х\_а" - какое-либо из внетелесных моих состояний, не желающих принять "Я" и живущих: глухую, особую, стародавнюю жизнь; эта жизнь прорастает порою: у впадающих в детство старух, сумасшедших; и носится по июльским ночам грозowymi зарницами; плевелы ее шелестят в пыли жизни:

Парки бабье лепетанье...

Жизни мышь беготня...

Сплетница мне и теперь напоминает "с\_т\_а\_р\_у\_х\_у": в ней есть что-то

"м\_и\_с\_т\_и\_ч\_е\_с\_к\_о\_е"...

#### ГОРИТ, КАК В ОГНЕ

Первый сознательный миг мой есть - точка; пронизает бессмыслицу он; и - расширяя, он становится шаром, а шар - разлетается: бессмыслица, пронизая его, разрывает его...

Стаи мыльных шаров вылетают из легкой соломинки... Шар - вылетит, подожит, проиграет блеском; и - лопнет; капелька вязкой жижи, раздутая воздухом, заиграет светами мира... Ничто, ч\_т\_о-т\_о, и опять ничто; снова ч\_т\_о-т\_о; все - во мне, я - во всем... Таковы мои первые миги... Потом -

-

вспыхнули едва приметные светочи; стал слезать с меня мрак (как со змееньша кожа змееньша); ощущения отделялись от кожи: ушли мне под кожу: выпали чернородные земли -  
- Кожа мне стала, как...

свод:

таково нам пространство; мое первое представление о нем, что оно -

коридор... -

- Мне впоследствии наш коридор представляется воспоминаньем о

времени, когда он был мне кожей; передвигался со мною он; повернись назад -

он сжимается сзади дырой; впереди открывается просветом;  
переходики,  
коридоры и переулки мне впоследствии ведомы; слишком ведомы даже:  
а вот -  
"я"; а вот - "я"...

Комнаты - части тела; они сброшены мною; и - висят надо  
мною, чтоб  
распасться мне после и стать: чернородом земли; тысячелетия строю я  
внутри  
тела; и бросаю из тела: мои странные здания: -  
- (и ныне: - в  
голове я  
слагаю: храм мысли, его уплотняя, как... череп; я сниму с себя  
череп; он  
будет мне - куполом храма; будет время: пойду по огромному храму; и  
я выйду  
из храма: с той же легкостью мы выходим из комнаты).

. . . . .

Ощущения отделялись от кожи: она стала - навислостью; в ней я  
полз, как  
в трубе; и за мною - ползли: из дыры; таково вхождение в жизнь... -

Сперва  
образов не было, а было им место в навислости спереди; очень скоро  
открылась  
мне: детская комната; сзади дыра зарастала, переходя - в печной рот  
(печной  
рот - воспоминание о давно погибшем, о старом: воет ветер в  
трубе о  
довременном сознании); между д\_ы\_р (моим прошлым и будущим)  
пошел ток  
перегоняющих образов: съезживались, распространялись, переменились,  
метались  
и, обливая меня кипятком, в меня влипали они (их остатки - стенные  
обои: и  
по ночам они гонятся мне, как прогоняется звездное небо)...

Предлиннейший  
гад, дядя Вася, мне выпалзывал сзади: змееногий, усатый, он  
потом  
перерезался; он одним куском к нам захаживал отобедать, а  
другой позже  
встретился: на обертке полезнейшей книжки  
"В\_ы\_м\_е\_р\_ш\_и\_е  
ч\_у\_д\_о\_в\_и\_щ\_а"; называется он "д\_и\_н\_о\_з\_а\_в\_р"; говорят - о\_н\_и  
вымерли;  
еще я их встречал: в первых мигах сознания.

Вот мой образ вхождения в жизнь: коридор, свод и мрак; за мной  
гонятся  
г\_а\_д\_ы -  
- этот образ родственен с образом странствия по храмовым  
коридорам

в сопровождении быкоголового мужчины с жезлом... -

. . . . .

Врезал мне э\_т\_о\_в\_с\_е голос матери:

- "Он горит, как в огне!"

Мне впоследствии говорили, что я непрерывно болел  
дизентерией,  
скарлатиной и корью: в т\_о\_и\_м\_е\_н\_н\_о\_в\_р\_е\_м\_я...

ДОКТОР ДОРИОНОВ

Помню комнатку: в ней предметов не помню; но - беспорядок во  
всем; все

- раскидано, разворочено, взрыто, как... в душе моей -  
затрепетавшей,  
встревоженной, вспугнутой, потому что... -  
- бабушка там,  
потрясаемая  
испугами, но испуги тая от меня и меня заражая испугами, -  
посиживает и  
набивает себе папиросы: без чепчика, лысая; морщится ее лоб,  
когда она,  
приподымая глаза над очками, поглядывает на меня исподлобья - в  
коричневатом  
капоте, выделяющемся на стене - из табачного дыма; и капот, и  
лысина в  
слабых мерцаниях свечи мне не кажутся добрыми. Знаю я -  
скверновато: даже  
совсем скверновато; а почему - этого не могу я понять; потому  
ли, что  
открыто мне неприличие бабушки (вместо чепчика с лиловыми  
лентами вовсе  
голая голова), потому ли, что целая половина стены отсутствует  
вовсе: не  
четыре стены - три стены; четвертая - распахнулась своим темнодонным  
оскалом  
со множеством комнат -  
- все комнаты, комнаты, комнаты! -  
- в  
которые, если  
 вступишь, то - не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами,  
еще не  
ясно какими, но, кажется, креслами в сероватых, суровых  
чехлах,  
вытарчивающих в глухонемой темноте; суть же не в креслах, а, так  
сказать, в  
протяжениях материи воздуха и в открытой возможности ощутить  
холодноватый  
бег сквознячка из комнаты в комнату, увидеть прыжок в зеркало...  
кресла.  
Словом - скверные комнаты!  
Между тем: сознавая немислимость там водиться, кто-то все же  
наперекор  
всему там завелся; и - безалаберно возится среди кресел -  
посиживает,  
похаживает, погромыхивает и правит - пустопорожний свой шаг, едва  
уловимый  
отсюда, по дальним пустотам...  
Если быть вовсе тихим, то шаг не захочет приблизиться,  
потому что  
привольней ему там стучать одному, чем томить нас в ужасных  
возможностях  
переживать наступление шага; и - главное: чувствовать -  
неотделенность  
стеною от шага; можно в таком положении жить; двигаться тоже можно,  
пожалуй;  
но - без единого стука; стукни; и - примется он: пристукивать,  
притоптывать,  
крепнуть, перерождаясь в грохоты.  
Чувствую невозможность дальнейшего пребывания без единого  
звука: хочу  
издать звук; бабушка, задрожав, как осиновый лист, мне грозит  
рукою:  
- "Этого нельзя: ни-ни-ни!"  
Я - громко щелкаю: и - ай! - что я сделал!  
Оно - совершается; оно уже совершилось, потому что он, кто  
там жил,

вызываемый стуком, он - прёт уже; и он уже крепнет; издалёка-далека  
он мне  
отвечает на вызов; и - ти:-те:-та:-то:-ту! - вытопатывает он мне:  
т\_о\_т  
с\_а\_м\_ы\_й (а кто, я не знаю)... Это было многое множество раз: из  
темноты  
перли грохоты бестолкового, сурового шага; если бы добежать до  
постельки и  
если бы, завернувшись, уснуть, то ничего и не будет: все кончится;  
засыпая  
уже, буду слышать я разрушение грохота в тихий свист и похрапыванье  
кого-то,  
успокоительно спящего...  
Поздно... -  
- выбежал из чернотного грохота мне навстречу -  
-

весьма  
прозаичный толстяк, с короткой шеей блондин, здоровяк:  
поворачивал он  
брюшком; на меня он поблескивал золотыми своими очками; и -  
золотую  
бородкою; он впоследствии появился и в яви: это был  
Дорионов, Артем  
Досифеевич, доктор мой; мне впоследствии говорили, что я непрерывно  
болел; и  
в то самое время. У доктора Дорионова, помню я, - были огромных  
размеров  
калоши, подбитые чем-то твердым: и, попадая в переднюю,  
производил ими  
грохот он; я всегда его узнавал по громоносному топоту, по огромной  
енотовой  
шубе, висящей в передней, и по резкому звонку во входную дверь;  
перед его  
появлением у меня поднималась: ноющая ломота в ногах; он  
прописывал рыбий  
жир; и при этом он шлепал - себя по коленям, надсаживаясь от  
добродушного  
хохота; кажется, разводил на дому канареек; и когда слышал пение  
вьется ласточка сизокрылая под  
окном моим,  
под косящатым, -  
- то заливался  
слезами он: с  
отцом игрывал в шашки, а над бабушкой он подшучивал и утверждал,  
что мы  
живем не на шаре, а - в шаре.  
. . . . .  
Думаю, что погоня и грохоты: пульсация тела; сознание, входя в  
тело,  
переживает его громыхающим великаном; события этого сна объяснимы мне  
так.  
И - думаю... -

И ДУМАЮ...

- Переходы, комнаты, коридоры напоминают нам наше тело,  
преобразуют нам  
наше тело; показывают нам наше тело; это - органы тела... вселенной,  
которой  
труп - нами видимый мир; мы с себя его сбросили: и вне нас он застыл;  
это -  
кости прежних форм жизни, по которым мы ходим; нами видимый мир  
- труп

далекого прошлого; мы к нему опускаемся из нашего настоящего бытия -  
перерабатывать его формы; так входим в ворота рождения; переходы, комнаты,  
коридоры напоминают нам наше прошлое; прообразуют нам наше прошлое;  
это -  
органы... прошлой жизни... -  
переходы, комнаты, коридоры, мне  
встающие в  
первых мигах сознания, переселяют меня в древнейшую эру жизни: в пещерный  
период; переживаю жизнь выдолбленных в горах чернотных пустот с бегущими в  
черноте и страхом объятами существами, огнями; существа забираются в глубь  
дыр, потому что у входа дыр стерегут крылатые гадины; переживаю пещерный  
период; переживаю жизнь катакомб; переживаю... подпирамидный Египет: мы  
живем в теле Сфинкса; комнаты, коридоры - пустоты костей тела Сфинкса;  
продолби стену я... мне не будет Арбата: и - мне не будет Москвы; может  
быть... я увижу просторы ливийской пустыни; среди них стоит...  
Л\_е\_в:  
поджидает меня...

. . . . .

Вообразите себе человеческий череп: -

- огромный, огромный,

огромный,  
превышающий все размеры, все храмы; вообразите себе... Он встает перед вами:  
ноздреватая его белизна поднялась выточенным в горе храмом; мощный храм с  
белым куполом выясняется перед вами из мрака; неповторяемы кривизны его  
стен; неповторяемы его точеные плоскости; неповторяемы архитравы колонн его  
входа: колоссального, точеного рта; многозубоколонный рот - вход открывает  
безмерности сумраком оваянных зал: черепных отделений; каменистые пики  
встают в сумрак свода; перекликаются гулким шумом костяные своды его; и -  
опускают объятия; и - образуют огромную полифонию творимого космоса; и  
тяжковесно, отвесно нисходят уступы; падают взоры в оскалы провалов -  
многовидных дыр, - уводящих быстрою линией переходов в лабиринт  
п\_о\_л\_у\_к\_р\_у\_ж\_н\_ы\_х каналов; вы выходите в алтарное место - над ossis  
srhenodei... {Наименование одной из костей черепа.} Сюда придет иерей; и -  
ожидаете вы: перед вами внутренность лобной кости: вдруг она разбивается; и  
в пробитую брешь в серо-черном, в обсвистанном, в ветром облизанном мире  
несутся: стены света, потоки; и крутнями вопиющих, поющих лучей они падают:  
начинают хлестать вам в лицо:  
- "Идет, идет: вот - идет" -  
- и уносятся под ноги космы алмазных

потоков: в пещерные излучины ч\_е\_р\_е\_п\_а... И вы видите, что Он входит... Он  
стоит между светлого рева лучей, между чистыми гранями стен; все - бело и алмазно; и - смотрит... Тот Самый... И - тем самым в\_з\_г\_л\_я\_д\_о\_м...  
который вы узнаете, как... то, что отдавалось в душе: исконно-знакомым,  
заветнейшим, незабываемым никогда...  
Голос: -  
- "Я..."  
Пришло, пришло, пришло: пришло - "Я..."  
. . . . .  
Вы представьте скелет: крестообразно раскинул он руки - кости; и - неподвижно простерт, чтоб... восстать в т\_р\_е\_т\_и\_й д\_е\_н\_ь... Вы представьте: -  
- вы - маленький-маленький-маленький, беззащитно низвергнутый в нуллионы эонов - преодолевать их, осиливать - схвачены черным свистом  
пустот и стремительным пунктом несетесь (это первая прорезь сознания: воспоминание его держит прочно и точно описывает); дотелесная жизнь обнажена ужасно и мрачно; за вами несется с\_т\_а\_р\_у\_х\_а; и ураганом красного мира она протянула свои гигантские руки; а вы - беспокровны; вдруг - толчок: вы - малюсенький-маленький вдруг ударились о скелетное тело храма; вы спасаетесь во внутренность храма; и слышите, как разбиваются о него океаны красного мира: там склонилась с\_т\_а\_р\_у\_х\_а; она не может войти -  
- вы  
представьте: вы входите; и - поднимаете голову: справа и слева симметрично бегущие своды ребер; изогнуты прихотливо их плоскости; встают перед вами, как п\_а\_м\_я\_т\_ь... о п\_а\_м\_я\_т\_и; чудесные дуги скелетного храма; впереди - проход... к белому алтарю; и там - череп; из огромности гулких зал, среди белого великолепия выступов вы поворачиваетесь назад - к выходу; миры бреда горят там; изумление, смятение, страх овладевает: действительность, откуда вы выпали - и не мир.  
И нахождение себя в храме подобно вопросу:  
- "Как?..  
- "Зачем?  
- "Почему?  
- "Как сюда ты попал?"  
Из алтаря проливается свет: это "Я", иерей, совершает там службы; и - воздевает он руки:  
- "Я, Я".  
Вы узнали Его.  
Как он "Я" там стоит: и простирает навстречу - пречистые руки... Этот жест - жест захожего иерея - жест воздетых рук отпечатлели, конечно,

надбровные дуги: по окончании светлой утрени Иерей уйдет; вы его года не увидите... Он вернется на родину...

Созерцание черепа странно: и он - п\_а\_м\_я\_т\_ь о п\_а\_м\_я\_т\_и великолепного скелетного храма, выдолбленного нашим "Я" в скалах мрака; в храме тела - лежат планы храмов; и восстанет, я верую, из храмовых обломков: храм тела.

Так гласит нам писание... Созерцание черепа утешает, напоминает; и - смутно учит чему-то; жест надбровных дуг ведом нам; это жест окрыленного "Я", вставшего из гробовой покрышки, пещеры, чтобы некогда вознестись; чтоб... вернуться на родину...

### ЛАБИРИНТ ЧЕРНЫХ КОМНАТ

После первого мига сознания предстают: коридоры и комнаты - все комнаты, комнаты, комнаты! - в которые, если вступишь, то - не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими, но, кажется, креслами в сероватых, в суровых чехлах, вытарчивающих в глухонемой темноте; множество немых кресел: под любым можно жить; все - мне ведомо; где-то я проходил тут - может быть... внутри тела, ощущеньями перебегая от органа к органу и охваченный прорастающей жизнью, еще не ясно какую, но кажется... в\_ы\_р\_а\_с\_т\_а\_ю\_щ\_е\_й; ее глухие наросты вытарчивали мне суровыми образами в глухонемой темноте; перебежал я от органа к органу и уходил в огромное материнское тело утробного мира... -

странно ведомы стены, уводящие в неизмеримые глубины: уводящие к "м\_а\_т\_е\_р\_я\_м", где все образы тают в без\_о\_бразном... -

Коридоры и комнаты, в которые если вступишь, то не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими, но... кажется... креслами...; сознавая немислимость здесь водиться, я завелся, однако, наперекор всему, вздрагивая в глухонемой темноте; и действительность комнат восставала мне - отложением расширения ощущений, отбежавших в "Я" и оставивших во все стороны следы свои: стены; из морей безобразия поднялись континенты; моря убежали под

ноги; под полом бушевали они; угрожали разбить все паркетные: затопить меня.

Казалось: - в отдалении, среди комнатной анфилады, сидит моя бабушка;

бегают нити на спицах (она вяжет чулок) ; и - бабушка мне грозитя среди

скверненьких сквознячков, перебегающих из комнаты в комнату; далее - в

глубине переходов еще бегают бестолочь; и гремит кто-то древний; все-то

ломится он; все-то ищет меня; в торопливых поисках правит он пустопорожний

свой шаг: по дальним пустотам; он - чужой: Артем Досифеевич Дорионов,

быкообразный, брюхатый, - бегают в бесконечности лабиринтов; то подбегает он

близко; а то отбегает - в неизмеримые дали ходов, где еще не обсохла

действительность, и гад, дядя Вася, купается в грязи там. По ближайшим

комнатам кто-то водит меня; молчаливо, сурово; кто-то светочем освещает мне

путь, впоследствии становится ясным: это мама иль няня проводят меня из

коридора... в мою детскую комнатку...; вспоминаю я это шествие; мне казалось

оно бесконечным; напоминало оно: шествие по храмовым коридорам в

сопровождении быкоголового мужчины с жезлом -

- (я впоследствии видел изображения таких шествий; изображениями этими

пестрят подземные гробницы Египта; и я видел ведущих: песьеголовых,

быкоголовых мужчин с длинными жезлами в руках...) Мне казалось: -

- переходы квартиры ведут к бездне мрака; и все там обрываются: далее -

чернотные грохоты, по которым несется старуха, стреляя дождями карбункулов

(переживание это меня охватило однажды: при прохождении земли чрез комету);

я когда-то там проносился; о\_н\_а м\_ч\_а\_л\_а\_с\_ь з\_а м\_н\_о\_ю; меня вытащили из

громов космических бурь; и - повели коридором; так тянулись века: все-то

гнались за нами; странно было это суровое шествие по коридору квартиры - в

сопровождении человекоподобного существа со свечою в руке.

. . . . .

Еще долго за мною протянута память туда - в лабиринт черных комнат, к

ч\_у\_ж\_о\_м\_у: все чужие - оттуда; еще долго спустя подозрительно я

встречаю... гостей; а когда узнаю про Тезея и про быка Минотавра, то

становится ясно мне: Артем Досифеевич - Минотавр; я же, шелкнувший в мрак

пустых, пустых комнат, - Тезей.

#### ЛЕВ

Среди странных обманов, туманно мелькающих мне, передо мной возникает

страннейший: передо мною маячит косматая львиная морда; уж горластый час

пробил: все какие-то желтороды песков; на меня из них смотрят спокойно

шершавые шерсти; и - морда; крик стоит:

- "Лев идет..."

. . . . .

В этом странном событии все угрюмо-текучие образы уплотнились впервые;

и разрезаны светом обмана маячивших мраков; осветили лучи лабиринты; посреди

желтых, солнечных суш узнаю я себя: вот он - круг; по краям его - лавочки;

на них темные образы женщин, как - образы ночи; это - няни, а около, в свете

- дети, прижатые к темным подолам их; в воздухе - многоносое любопытство; и

среди всего - Л\_е\_в -

- (Я впоследствии впдывал желтый песочный кружок -

между Арбатом и Собачьей Площадкой, и доселе увидите вы, проходя от Собачьей

Площадки, обсаженный зеленью круг; там сидят молчаливые няни; и - бегают

дети)...

. . . . .

Образ этот - мой первый отчетливый образ; до него - неотчетливо все;

неотчетливо - после; мутные, мощные, мрачные, переменные миги мои мне рисуют

события, со мною не бывшие вовсе; мне действительность города возникает

впервые гораздо позднее; но осколок ее мне - тот желтый кружок, перекинутый

от... Собачьей Площадки... в мой мир марева: посередине желтого круга мы

встретились: я и л\_е\_в.

Мне отчетливо: -

- Лев есть Л\_е\_в: не собака, не кошка, не утка; смутно

помнится: льва я где-то уж видел; и видел - огромную, желтую морду.

Да я знал ее прежде: я ждал ее...

Это событие встречи упреждает отчетливо мне встречу с близкими ликами:

мамы, папы и няни... Среди образов снов еще нет этих образов; есть их

запахи, голоса, ощущение; есть движение с ними в пространстве: вот несут

меня, переносят, укладывают, гасят свет, защищают от тьмы; переносящих не

вижу я вовсе; и я знаю объятия; папа, мама и няня мне спрятали свои лики;

сквозь объятия их мне просунуты все какие-то полулюди: вот ужасный толстяк

Дорионов, старуха и гад дядя Вася; правда, помнятся: тетя Дотя и бабушка:

тетя Дотя протянута в зеркалах с выбивалкой в руке; бабушка - и грозна, и

лыса. Больше образов нет...

Почему же л\_е\_в мне знаком?

. . . . .

Я отчетливо помню, что -

- линии блещущих лавочек, солнце и желтая суша

- куда-то отъехали перед львом; лев растет; и - заслоняет мне все; ужасаюсь

я: рухнули все преграды меж нами; все, что пряталось,  
появилось - под  
солнцем. Покров солнца на мраке не защищает от мрака; солнце бросило  
в мрак  
желтый круг; и из мрака ночей повылезали на желтую сушу все дети  
и няни:  
отдохнуть от опасностей; и тогда-то вот из желтеющей кучю песку,  
из-под  
круга на круг вылезать стал на нас головастый зверь, лев: и все  
снова -  
пропало; солнце спряталось; снялось желтое пятно круга; и няни,  
и дети  
снялись; все снялось: и продолжилась тьма.

. . . . .

Я впоследствии, четырех-пяти лет, проходил по кружку; и тогда  
вспоминал  
уже я, что мне снилось когда-то (когда - я не помню) -  
- вот здесь встретил Льва я...

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ -  
ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ДВА ГОДА

Через двадцать лет: -

- мне отчетливо кинута снова: событие с  
"Львом";  
углублено мне отчетливо; косматая морда опять предо мною;  
невероятности  
брёда мне врезаны в вероятное; сон стал фактом; понял я до конца:  
брёды -  
факты; и сны суть действительность; через двадцать лез сызна  
Лев стоит  
предо мною.

. . . . .

Я любил рассказывать сны: пояснять свои миги сознания; и первые  
миги я  
вспомнил в то время; я любил погружаться в их темное, грозное лоно;  
научился  
я плавать в забытом; извлекать темнодонное: изучать его; в это время  
я много  
читал: о дне океанов и гадах; п\_а\_л\_е\_о\_н\_т\_о\_л\_о\_г\_и\_я открывает  
мне свои  
тайны; я - естественник; мои товарищи - тоже; собираемся мы дружным,  
тесным  
кружком; и забавляемся небылицами.

Помню я: уж весна; на носу экзамены; жарко; лаборатория  
опустела;  
темнеет; уж весенний вечер в окне; угасает жужжание электрической  
печи;  
бросаем реторты; в прожженных тужурках идем к подоконнику;  
начинаются  
разговоры о снах; яркими красками рисую жизнь детства:

с\_т\_а\_р\_у\_х\_у и

г\_а\_д\_о\_в; говорю о к\_р\_у\_ж\_к\_е и о л\_ь\_в\_е: о его желтой морде...

Товарищ смеется:

- "Позвольте же... Ваша л\_ь\_в\_и\_н\_а\_я\_м\_о\_р\_д\_а - фантазия".
- "Ну да: сон..."
- "Да не сон, а фантазия: рассказы..."
- "Уверю вас: этот сон видел я".
- "В том-то и дело, что сна вы не видели..."
- "?".
- "Просто видели вы сан-бернара...",
- "Льва..."
- "Ну да: "Л\_ь\_в\_а..."
- "?"

- "То есть "Л\_ь\_в\_а" сан-бернара..."  
 - "Как так?"  
 - "Этого "Л\_ь\_в\_а" помню я..."  
 - "?"  
 - "Помню желтую морду... не "л\_ь\_в\_а", а - собаки..."  
 - "??"  
 - "Ваша львиная морда - фантазия: принадлежит она сан-бернару,  
 по имени  
 "Л\_е\_в".  
 - "А откуда вы знаете?"  
 - "В детстве и я проживал около Собачьей Площадки... Меня водили  
 гулять  
 - на кружок; там и я видел "Л\_ь\_в\_а...". Это был добрый пес; иногда  
 забегал  
 на кружок он; в зубах носил хлыстик; мы боялись его:  
 разбегались с  
 криком..."  
 - "И вы помните крик "Л\_е\_в - и\_д\_е\_т"?"  
 - "Разумеется, помню..."  
 . . . . .  
 Мой кусок странных снов через двадцать лет стал мне явью... -  
 \_

(может  
 быть, лабиринт наших комнат есть явь; и - явь змееногая  
 гадина:  
 г\_а\_д д\_я\_д\_я В\_а\_с\_я; может быть: происшествия со  
 старухой -  
 пререкания с Афросиньей, кухаркой; ураганы красного мира -  
 печь в  
 кухне; колесящие светочи - искры; не знаю: быть может...)
 Товарищ смеялся:  
 - "Около Собачьей Площадки есть дом: сан-бернары не переводятся  
 в этом  
 доме; около Собачьей Площадки и теперь они бегают; их же праотец -  
 "Л\_е\_в".  
 . . . . .  
 Очень скоро впоследствии, проходя по Толстовскому переулку,  
 выходящему  
 на "к\_р\_у\_ж\_о\_к", встретил я: желтоногого сан-бернара с шершавой,  
 слюнявою  
 мордою...

"Л\_е\_в" продолжился - в нем...  
 Но душа глухо дрогнула:  
 - "Л\_е\_в - идет: близко знаменье".  
 В это время я читывал "Заратустру".  
 . . . . .  
 И - прошло лет двенадцать: тридцатидвухлетие отделило меня: от  
 первого  
 появления Льва, и тогда, в т\_р\_е\_т\_и\_й р\_а\_з, появился он: встал  
 воочию и -  
 угрожал мне, погибелью...

#### ВСЕ-ТАКИ

Из сумятицы жизни, в толпе, среди делового собрания, сколько  
 раз я  
 повертывался к странному явлению "Л\_ь\_в\_а": в дальнем детстве, теперь  
 и во  
 время студенчества.  
 И - глаза мои расширились; невидящим взором глядел я в  
 пространство;  
 толкали прохожие; качал головой собеседник: я отвечал невпопад;  
 изумление,

смятение, страх овладевали мной.

Я себе говорил: -

- "Действительность эта - не сон: но она

- не

действительность..."

- "Что все это: и - где оно было?"

- "Приходил д\_е\_т\_с\_к\_и\_й лев: и опять, и опять".

- "Ты с ним встретился..."

. . . . .

Явственно: никакой собаки и не было. Были возгласы:

- "Лев - идет!"

И - лев шел.

. . . . .

В это детское время сознание изобразимо мне так: провалился я; и -

повис в черной древности: блистать в черной древности; иногда вокруг сны -

дымят: и бегут лабиринты из комнат; и припадают к лицу; и узором обой

остановятся передо мною; и узором обой прямо смотрят мне в душу; отступят:

опять провалился; повис в черной древности; все отряхнуто - стены, кресла,

предметы; все - грозно; все - пусто; действительность - дыра в древнем мире;

миг - и снова они: лабиринты из комнат; и изо всех лабиринтов глядится:

т\_о\_т\_с\_а\_м\_ы\_й; а кто - ты не знаешь: и тянет к нам руки; до ужаса узнанной

бурей несется без слов:

- "Вспомни же: это я - старая старина..."

Страшное роковое решение уже принято: не избежать, не осилить: за ним!

-

- все! -

- туда!.. -

А куда, я - не знаю.

. . . . .

Ярче всего мне четыре образа: эти образы - роковые; бабушка и лыса, и

прозна; но она - человек, мне исконно знакомый и старый; Дориопов - толстяк;

и он - бык; третий образ есть хищная птица: с\_т\_а\_р\_у\_х\_а; и четвертый -

Л\_е\_в: настоящий л\_е\_в; роковое решение принято: мне зажить в черной

древности; мне глядеться в т\_о\_с\_а\_м\_о\_е (вот во ч\_т\_о, я не знаю)... И

о\_н\_о надвигается; восстает: и окружает меня лабиринтами комнат; среди этого

лабиринта - я; более - ничего.

Странно было мне это стояние посередине; или вернее: мое висенье ни в

чем; и кругом - они, образы: человека, быка, льва и... птицы. Думаю, что они

- мое тело; черная мировая дыра - мое темя; "я" в него опускаюсь: не сошел

еще - мучаюсь; распространенный по космосу, я ужасно сжимаюсь; переживаю я

погружение себя в тело, как... опускание в мировую дыру; но решение принято!

час жизни пробил; и, выпуская меня из родительских рук, Кто-то давний стоит

там за "Я"; и - все тянет мне руки: из-за багровых расколов; эти  
руки,  
желтея, мрачнеют; и - переходят во тьму.  
. . . . .  
- "Я - приду".

#### ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Как в пространствах грохнувший метеор, -  
- издалек\_a\_,  
неотчетливо,  
говорливо, рассыплется, как горох по паркету:  
- "Д\_а\_в\_о\_с\_к\_р\_е\_с\_н\_е\_т\_Б\_о\_г!"  
- "Ха-ха-ха..."  
- "Барин..."  
- "Право..."  
- "Чудак..."  
- "Михаил Васильич, оставьте!"  
- "И\_р\_а\_с\_т\_о\_ч\_а\_т\_с\_я\_в\_р\_а\_з\_и\_е\_г\_о..."  
- "Ха-ха-ха..."  
- "Чтой-то, право..."  
- "Математики, ученые, г\_о\_ловы: там себе - шутят..."  
- "Ха-ха..." -  
- разорвется - все: стены, комнаты, полы,  
потолки; или:  
вгонится в темное отверстие без\_о\_бразно-безвременного, как  
вгоняется  
мыльный пузырь в отверстие узкой соломинки; лопнет все: лопну я...  
. . . . .  
Мне открылось впоследствии (я = подрост уже в эту пору):  
Афросинья,  
кухарка, с Дуняшей, горничной, - побранятся; и подымет: в кухне  
крик; папа  
выскочит; из кабинета в гостиную, пробежит по столовой, передней;  
и - в  
кухню; там он примется:  
"Отче наш... Иже еси на небесех..."  
Или - примется он: "Да воскреснет Бог" -  
- угомонять крикунью-  
кухарку,  
призывая все, бывало, Дуняшу: и, потрясенная текстом, молчит  
Афросинья;  
Дуняща смеется сквозь слезы: папа, мама и няня хохочут; Серафима  
Гавриловна  
с бабушкой угощаются табачком и разводя руками:  
- "Математик, ученый, чудак..."  
- "Что прикажете делать".  
Я же - падаю в обморок, потому что -  
- "Я" и "в\_с\_е  
к\_р\_у\_г\_о\_м" -  
связаны: ощущение строит мне окружение: распадаются стены в  
чернотные  
бездны; папа, мама и няня вываливаются; а "Я" - без  
действительности;  
сотрясение ощущений мне обдувает все, точно пух одуванчика,  
уносимый от  
брежущей свечки в пустотные ночи.  
Я - нервный мальчик: и громкие звуки меня убивают; я сжимаюсь в  
точку,  
чтобы в тихом молчаньи из центра сознания вытянуть: линии, пункты,  
границы; их  
коснуться своим ощущением; и оставить меж них зыбкий след;  
перепонку;

перепонка эта - обои; меж ними - пространства; в пространствах заводятся:  
папа, мама и... няня. Помню: -  
направо - я выращивал комнаты; я налево,  
откладывал их от себя; в них откладывал я себя: среди времен;  
времена -  
повторения обойных узоров: миг за мигом - узор за узором; и вот линия их  
упиралась мне в угол; под линией линия; и под днем - новый день;  
я копил  
времена; отлагал их пространством; здесь - в огромных обойных букетах -  
время мчалось галопом; а у той стены разрывался мне пульс его; я пульсировал  
временем; я пульсировал коридором, столовой, гостиной: коридорные, столовые  
времена!

#### ВЕЧНОСТЬ В ЧЕХЛАХ

Действительность -  
- выгонялась из... труб, как выгоняется  
мыльный  
пузырь из тончайшей соломинки: действительность не текла, а надувалась и  
лопалась; комнаты возникали мне; комнаты лопались; в комнатах -  
топали,  
хлопали, лопались все предметы; и - хаяла тетя Дотя, -  
- все еще  
она не  
сложилась: не оплотнела, не стала действительной, а каким-то туманом она  
возникала безмолвно: между чехлов и зеркал; мне зависела тетя Дотя: от  
чехлов и зеркал, между которыми -  
- и слагалась она в величавой  
суровости и в  
спокойнейшей пустоте, протягиваясь с воздетой в руке  
выбивалкой, с  
родственным отражением в зеркалах, с родственно  
задумчивым  
взором: худая, немая, высокая, бледная, зыбкая -  
родственница,  
тетя Дотя; или те: Евдокия Егоровна... Вечность...  
Родственность -  
отражение моих состояний сознаний (в данном случае: чехлов  
пустой  
комнаты); отражение было так хрупко, что  
приближение шага  
отряхивало тетю Дотю тенями: по четырем углам комнаты...  
Мне Вечность - родственна; иначе - переживания моей жизни  
приняли бы  
другую окраску; голос премирного не подымался бы в них; не спадали бы  
узы  
крови; меня не считали б отступником; и я не стоял бы пред  
миром с  
растерянным взглядом.

#### КОМНАТЫ

Квартирой отчетливо просунулся внешний мир, - то есть то, -  
-  
что от

меня отвалилось и на чем летучились сны, приликая обоями к  
укрываемым  
комнатам; а сквозь них, из углов, пошел ток мрачной жизни,  
слагая мне  
будущих спутников: тетя Дотя в то именно время слагалась - ^ в  
углу, на  
обоях, из теней; она еще не сложилась; и -

- ти-те-та-та-то-ту -

-

погромыживал

откуда-то издали папа "Непапа"; старые ямы открыты, как... старые  
язвы; и

этот папа Непапа - язвительный, клочковатый, нечесаный; изнутри он  
горит, а

извне - осыпается пеплом халата; под запахнутой полой халата язвит  
багрецом

он; и он - огнедышащий: папа Непапа, как... Этна: остывает он;  
громыхая, он

обнимает... нас: ураганом текущего.

Воспоминание об огнедышащем папе у меня сливается с  
воспоминанием о

позднейших рассказах -

- папа свечкою поджег шторы; штора

вспыхнула: но,

никого не позвав, папа бросился из постели в пламенистые  
кл\_о\_ки -

рвать и босыми ногами растаптывать; затоптав пламена,  
лег он

спать; утром входит прислуга и видит: часть стены  
обгорела; папа

же - спит себе -

- настоящий пожарный!

Линии, светочи, жары отвердевали поверхностями предметов, и,  
где не

было никакого порога, - порог появлялся; верилось в иные, таимые  
комнаты

среди не таимых, вот этих; потом обнаружили окна к ним -  
зеркала: тетя

Дотя связана с зеркалами; все, бывало, выглядывает она на меня из  
зеркал -

лицевым, бледноватым пятном.

С нянюшкой Александрой жили мы в правилах; была правилом  
комната; и

жили мы в комнатах: в правильных комнатах, преодолимых и  
измеряемых, о

четырех стенах; словом, жили не в трубах.

И заключили мы договор: -

- мне жить по закону: около угла,

сундучка, -

при часах; и слушать мне тиканье; здесь, на коврике,  
одолевались

пространства; и за ковром, там -

- охватывал

Анаксимандр:

беспредельностью; -

- это я кричал про него, по ночам, -

всего одно

только слово:

- "Афросим!" - просто я перепутал: "афросюнэ" по-  
гречески

ведь безумие; а Афросинья служила в кухарках: в то именно  
время;

старообразая, все бранилась она.

Папа ей говорил:

- "Афросинья молода  
- "Не бранится никогда". -  
Или, скажет наш папа: -  
- "Земля - шар..."

Это - я понимал, как понимал вообще я круглоты, и их я боялся:  
ведь сам  
же я шарился; и папа - охватывал страхом, становясь папой Непапой,  
каким-то

Вулканом, посыпанным лишь для вида чсрпой золой сюртука; под ней все  
кипит:

огнедышащий папа!

Все-то он налезает на нянюшку (все сказали бы - с шутками: а  
какие там  
шутки!) и грозитя извергнуться лавою меня сотрясающих слов:

"Не бил барабан перед смутным полком,  
"Когда мы вождя хоронили".

Еще можно держаться мне в строе, когда скажет, бывало, он:

- "Вот сидит он на рогоже,

"Бледный и немой" -

- это мне и понятно, и просто; даже - на пользу мне: сам я на  
коврике;

сам я и бледен, и нем, как бледна и нема моя нянюшка; немота  
сидящего на

рогоже понятна; он сидит, как и я; и пребывает, как я, - он; на  
рогоже -

одолевается и пространство, и время; за рогожею - рдяный мир.

Папа же тут з\_а\_н\_е\_п\_а\_п\_и\_т\_с\_я; и - пригрозит старой яростью:

"Краски огненного цвета  
"Брошу на ладонь,  
"Чтоб предстал он в бездне света,  
"Красный, как огонь!.."

- А я - я взреву, весь охваченный ярой рдяностью багрец  
излившего,

рассвирепевшего - косматого и очкастого Папы, способного меня  
затащить в те

миры, откуда, с опасностью жизни, был я вытасчен трубочистом.

Нянюшка меня накрывает от папы, а я - я предчувствую: будет,  
будет нам

с нянюшкой гибель от папы; и потом, когда папы уж нет, я  
пугливо

оглядываюсь; вот он там на нас набежит; нянюшка в ужасе на  
меня

принавалится, меня спасать: папа же - сорвет с меня нянюшку:  
затащит мне

нянюшку, может быть... с ней описывать там в пространствах... колеса!

. . . . .

Переживание звука телесного голоса, как грохота бестолочи,  
переживание

тела, как бездны, в которую рухнул ты -

пучиться -  
- без\_о\_бразно пухнуть и

-

вот посвяtitельный образ: в произрастание жизни; вспомните, что  
говорят наши

няни:

- "Это, барыня, рост".

Из сумятицы жизни, в толпе, среди делового собрания, сколько раз я поворачивался назад, к первому мигу сознания; и - глаза мои расширялись; изумление, смятение, страх овладевали мной; я - хватался за голову; я - говорил себе:

- "Действительность, где ты был, - и не мир".

Мне был мир - ощущением.., даже не органов тела, а - бьющих? рвущих и странно секущих биений, в меня впаянных, меня тянущих за собой, развивающих во все стороны от меня крылорукие молнии пульсов; образом и подобием моего состояния может служить разве лишь изображение чудища, тысячерукого существа (сиамские статуэтки - вы помните?).

Таковы мои первые ощущения; а нахождение себя в ощущении было подобно вопросу:

- "Как?
- "Зачем?
- "Почему?
- "Как с\_ю\_д\_а ты попал?" -

- То есть: -

- было сознание контраста,

но - с чем? Была память... О чем была п\_а\_м\_я\_т\_ь? Что "Я" - "Я" - этому я дивился позднее, Наконец, было знание, которое я не мыслю без опыта: у б\_е\_с\_к\_о\_н\_е\_ч\_н\_о\_с\_т\_и е\_с\_т\_ь п\_р\_е\_д\_е\_л; и стало быть; законечное; "з\_а\_к\_о\_н\_е\_ч\_н\_о\_г\_о" не было мне: детской комнаты, няни, мамы и папы - не возникало еще.

З\_а\_к\_о\_н\_е\_ч\_н\_о\_е переживалось, как... прошедшая в ощущение память: о д\_о\_т\_е\_л\_е\_с\_н\_о\_м...  
. . . . .

Мои детские, первые трепеты: трепеты ощущаемых м\_ы\_с\_л\_е\_ч\_у\_в\_с\_т\_в\_и\_й сознания; трепеты образования текучих миров, пламенных объятий вселенной (огонь Гераклита); трепеты развивались, как... крылья: думаю я, что "к\_р\_ы\_л\_ь\_я" - подобия пульсов; окрыленный, трепещущий рост - существо человека; ангелоподобно оно; и мы все - крылоноги; и мы - крылоруки. К\_о\_н\_е\_ч\_н\_о\_с\_т\_и - отложения крыльев. Мои первые детские трепеты удивляют меня; удивляет в\_с\_е: ч\_т\_о о\_н\_о т\_а\_к\_о\_в\_о, к\_а\_к\_о\_в\_о о\_н\_о е\_с\_т\_ь; почему о\_н\_о не текуче? Взмахни трепетом, как крылом, - перестроится все: будет т\_е\_м, д\_а н\_е т\_е\_м; а о\_н\_о - не меняется (и впоследствии, уж привыкнув к действительности, все боялся я, что она утечет от меня и что буду я - без действительности: вне действительности разовью

миры бреда...). Ощущение уж меня не терзает: не кажется мерзостью; если ж  
в\_с\_е утечет, ощущение разовьет - во все стороны свои крылья: и я стану  
вращаться, терзаясь пустотами, тысячекрылый, напоминающий изображения  
сиамских богов, колесящих в неправде.  
Про меня говорили:  
- "Какой нервный мальчик..."  
. . . . .  
С трепетов, думаю, открывались мистерии: мистерией началась моя  
жизнь;  
и эта мистерия - рост; круги нарастанья - н\_а\_р\_о\_с\_т\_ы - есть  
жизнь моя;  
первый н\_а\_р\_о\_с\_т роста - образ.  
Жизнь моя началась в безобразии: и продолжилась - в образы.

ГЛАВА ВТОРАЯ  
НЯНЮШКА АЛЕКСАНДРА

когда-то, Все это уж было  
когда... Но только не помню  
Толстой Гр. А.

ЛАПА

Я стал жить в пребывании, в с\_т\_а\_в\_ш\_е\_м (как я ранее жил в  
с\_т\_а\_н\_о\_в\_л\_е\_н\_и\_и); в нем держу нить событий; не все еще  
с\_т\_а\_л\_о мне;  
многое у\_с\_т\_а\_н\_о\_в\_и\_т\_с\_я на мгновение; и потом - утечет.  
Так с\_т\_а\_н\_о\_в\_и\_т\_с\_я мне тетя Дотя; с\_т\_а\_н\_о\_в\_и\_т\_с\_я  
папа;  
установится; и уже - протечет: станет паром. Папа водится редко;  
он в  
отсутствии представляется мне огнеротым каким-то -  
- краснокудые  
пламена,  
огнерод, вылетают из уст; бородатый, крылатый летает  
на ясных  
размахах; иногда приколотится он красным миром  
своим к  
Косяковскому дому, в котором мы жили; и смотрит с Арбата в  
оконные  
стекла багровым закатом; разразится огромным звонком к  
нам во  
входную дверь: из Университета влетает в квартиру -  
-  
(Университет  
- универс!) -  
- громорогие самороды грохочут нам в  
комнаты;  
воспламятся все печи; а папа гремит за стеною (я  
впоследствии  
познакомился с греческой мифологией; и свое  
понимание папы  
определил: - он - Гефест; в кабинете своем, надев на нес  
очки, он  
кует там огни - среброструйные молнии из стали, которые,  
наподобье

складного аршина, он сложит и спрячет в портфель,  
чтобы их  
утащить в Универс - и отдать их Зевесу: университетскому  
ректору,  
Пудостопову).

Он уже вот в огромных калошах, в огромной енотовой шубе, по  
коридору  
бежит прямо во входную дверь, чтоб оттуда, раскрыв свою шубу,  
низвергнуться  
в космос (там, за входною дверью, - обрыв: над головой, под ногами и  
прямо,  
где после возникла стена, дверь и входная карточка с  
надписью  
"Х\_р\_и\_с\_т\_о\_ф\_о\_р Х\_р\_и\_с\_т\_о\_ф\_о\_р\_о\_в\_и\_ч П\_о\_м\_п\_у\_л", -  
темнеет  
звездистое небо); и папа несется по небу - громадной кометой, по  
направлению  
к той дальней звезде, которую называют "У\_н\_и\_в\_е\_р\_с\_и\_т\_е\_т",  
уносится на  
пространствах: газообразно раскинутым, повисающим, нам грозящим  
хвостом; там  
- летают видения; там встречается папа с моею с\_т\_а\_р\_у\_х\_о\_й: ее  
называют  
Натальей Ивановной Малиновскою, к\_р\_е\_с\_т\_н\_о\_й м\_а\_м\_о\_ю; там, в  
двери,  
остается папина шуба, большая, пустая; папа мчится в иные вселенные:  
-

- в  
Университет,  
- в  
Совет,  
- в  
Клуб...

Их названья - "п\_л\_а\_н\_е\_т\_ы"; говорит он и дышит он - там.  
. . . . .  
Так летят серебристые облака на громах и на молниях.

#### РОЙ - СТРОЙ

Первые мои миги - рои; и - "рой, рой, - все роится" -  
первая моя  
философия; в роях я роился; колеса описывал - после: уже со старухой;  
колесо  
и шар - первые формы: сброенности в рое.  
Они - повторяются; они - проходят сквозь жизнь: блещет  
колесами  
фейерверк; пролетки летят на колесах; колесо фортуны с двумя  
крылышками  
перекатывается в облаках; и - колесит карусель. И то же - с  
шарами: они  
торчат из аптеки; на Каланче взлетел шар; деревянный тар с  
грохотом  
разбивает отряд желтых кегель; наконец, приносят и мне - красный  
газовый  
шарик - с Арбата, как вечную намять о тон, что и я - шары сраивал.  
Сброенное стало мне строем: колесея, в роях выколесил я дыру,  
с ее  
границей, -  
- трубою, -  
- по которой я бегал.  
Трубы, печи, отдушины, то есть дыры, есть мир.  
Вспыхивал печной рот раскаленным оскалом; или - жевал он золу;  
черные  
дыры отдушин душили угарами; в трубу - вылетали.

Мама моя с ударением твердила:

- "Ежешехинский..."

- "Что такое?"

- "В трубу вылетел".

Это и подтвердил чей-то голос:

- "Ежешехинский идет сквозь огонь и медные трубы".

Размышления о несчастиях Ежешехинского, забродившего в трубах и бродящего там доселе, - были первым размышлением о превратности судеб.

В размышлениях этих одолевала память о старом: и я ходил в трубах, пока оттуда не выполз я - в строй наших комнат через отверстие печки из-за золы, из-за черного перехода трубы; туда уползают и оттуда выпалзывают: в строи стен и в строй пережитий.

Правилом пережитий мне встала тут - нянюшка Александра непосредственно у дыры, у трубы; и - строй наших комнат.

#### ТРУБОЧИСТ

Невыразимое чувство меня охватило, когда -  
- из-за угла  
коридора  
просунулась жиловатая голова трубочиста и добродушно  
осклабилась  
белыми своими зубами; глаза мне сказали: -  
- "Да, да, да -  
вот.  
- "Мы знаем, что  
знаем...  
- "Но об этом -  
молчок...  
- "Ни-ни-ни..."

И трубочист наклонился к отверстию печки: что-то свое там таить,  
вспоминать...

Думалось: может быть, это он, перегибаясь по трубам, меня выхватил из дыры; и - пронес над огнем... -  
- Как он бродит над трубами и опускает в отверстие длинную веревку на гире: согнутый, озоленный - посиживает: в горях, в копотях - у перегиба трубы, в темном ходе, спасая оттуда младенцев и после выпалзывая из печей, где ему, как ужу, ставят на блюдечке молоко; и - трубочист представляется мне змееногим: извивается в комнатах; тихо пестует мальчиков.

Поражался я отвагою трубочиста: любил трубочиста. И, зная, что -  
Ежешехинский впал в трубу, там заползал, как червь, и из трубы по ночам подвывает, я думал: -  
- "Как его там найти?"  
Послать трубочиста.

Видывал трубочиста я после: в окошке... Как он там, - на трубе,  
далек\_о\_-далек\_о\_, выдается изогнутым контуром; солнце блещет слепительно;  
снег на крыше - глазастый алмазник; присвистнет метелица; и - взлетят  
снегометы: снегометы бело и неяро летят переносными стаями; легколистая  
снегопись серебреет на окнах.

#### ТЕТЯ ДОТЯ

Тетя Дотя с\_т\_а\_н\_о\_в\_и\_т\_с\_я - тоже, появляясь сперва в зеркалах  
дальней комнаты; и в величавом спокойствии медленно оплотневает; оплотневшая  
ходит среди нас: с выбивалкой в руке.  
Оплотневшая тетя Дотя становится: Евдокией Егоровной; она - как бы  
Вечность.  
Евдокия Егоровна, Вечность, сочувственно посещает меня, обнимает меня  
своим бледным лицом - без единой кровинки; тетя Дотя - растроена: растроена  
в зеркалах; в том и этом; обнимая меня, указывает на зеркало; там - она; и еще  
кто-то там: зеленоватый, далекий и маленький, в бледно-каштановых локонах; а  
тетя Дотя мне шепчет:  
- "Чужие..."  
Становится все очень странно, а тетя Дотя садится к огромному, черному  
ящику; открывает в нем крышку; и одним пальцем стучит мелодично по белому,  
звонкому ряду холодноватеньких палочек -  
- "То-то" -  
- что-то тети-до-ти-но...

. . . . .  
Мне впоследствии тетя Дотя является: преломлением звукохода; тетя Дотя  
мне: мелодический звукоход; а все прочие ходы суть грохоты; и особенно папин  
ход: г\_р\_о\_х\_о\_д - п\_а\_п\_а\_х\_о\_д...  
Тетя Дотя - минорная гамма; или - строй торчащих чехлов; и кресло в  
чехле - называю "Е\_г\_о\_р\_о\_в\_н\_о\_й" я; и мне каждое кресло -  
"Е\_г\_о\_р\_о\_в\_н\_а"; строй "Егоровен" - Вечность... Он ряд повторений:  
э-м\_о\_л\_ь; и тетя - " Дотя - э-м\_о\_л\_ь: повторение одного и того же. Тетя  
Дотя - как гамма, как тиканье, как падение капелек в ручкомойнике, как за  
окнами с\_т\_р\_о\_й солдат без офицера и знамени; ее назвал "д\_у\_р\_н\_о\_й  
б\_е\_с\_к\_о\_н\_е\_ч\_н\_о\_с\_т\_ь\_ю" знаменитейший Гегель.

#### НЯНЮШКА АЛЕКСАНДРА

Непротканное звездами бледное небо, дневное - за окнами смотрит;  
непроглядная тень на полу: это нянюшка Александра со мной.

Точней - воздух нянюшки: вселенная, продышавшая многим; и -  
прогнанная;  
ее прогнали: я плакал.  
Все было в нянюшке правильно нам: и внедырно, и комнатно (она  
дозирала  
за дырами: трубочист - ее кум) ; я, бывало, ее теребил; я просил  
ее: мне  
позвать трубочиста; нянюшка мне молчала: ни слова. И голоса я не  
помню ее;  
да и нрава не помню, но -  
- дозирующий облик из теней, углов и  
простенков, в  
тускловатой мгле серых стен передо мною встает, как  
реликвия  
древности.."  
. . . . .  
Смутно помнится: -  
- что букетиками васильковых обой -  
передо мной  
встали стены и что тарелочка с манной кашкой откушана мною; и -  
перемазан я  
весь (нянюшка на меня заворчала: меня подтирает). Мне немного  
грустно и  
пусто; вот он кованный, жестяной сундучок; около него, под  
часами, в  
пунцово-сером платье сидит она -  
- с изможденным, пожелклым,  
изборожженным  
лицом; и - с желтыми скулами; я ваюсь на подушки, потому что я -  
-  
недоволен; мне говорили потом, что в это время был болен  
я, что  
меня мучил жар; жара нет; и - события нет; то есть нет  
ничего уже;  
а... кашка... откушана... мною; я кушал - в будни; откушал:  
и - те  
же все будни; мне хочется плакать; в тканях перемогается  
время:  
уж сумерки.  
Нянюшка на меня посмотрела; и забегали над чулком  
вязальные, ясные  
спицы -  
- Манная кашка меня обманула; тяготится желудочек и  
нападают  
сонливости; я простираюсь за помощью; нянюшка склонилась  
ко мне;  
вместо ее головы -  
- над воротом пунцового платья, без колпака,  
торча,  
меня лижет, мне блещет и синеньким огонечком моргает  
мне, дышит  
отверстием: ламповое стекло! -  
- А нянюшка с ясными,  
вязальными  
спицами - только смотрит!

#### ПРОГУЛКА

Нянюшка Александра и я пробираемся по коридору - из  
детской: в  
коридорной печи - залетали огни; краснопалое пламя показало нам  
палец; мы  
проходим в столовую: на летящих спиралях с обой онемели давно  
лепестки белых

лилий легкотенным изливом: проходим в гостиную: она - в красных креслах; на стенах из огромных гирлянд багрянеют, грозясь: кисти красные роз заревыми роями; мы - на кухню: шепоты, шумы, шипы, огни, пары, гари; там на кухне стоит, там на кухне бурлит - дымно-шинный котел; и огонь бьет в котел, прободая железную вейку; ломти мягкого мяса малиновеют на столике; кровоусая кошечка с красным куском в зубах - уж косится; и - морковь сочно трется о терку... -

- Афросинья, замахаясь рукой над огнем, описывает кочергою дугу, вся в отсветах кудрявого пламени, вылезавшего на нее из печи легкой гривой; в печке - красная ярая морда оскалилась углями; -

- и мне кажется: -

- Афросинья там борется с гадом, приползающим к черному отверстию печки; будет - будет нам гибель: кричу; и выводят меня в коридор.

. . . . .

Нянюшка Александра и я пробираемся по коридору - из кухни; я - прижался к подолу; за нами бродят по стенам огромные великаны; то - тени; съезживаясь, переменяясь, метаются; а коридор - бесконечен; странно мне это шествие - нянюшки Александры, меня - по коридору и комнатам опустевшей квартиры в сопровожденьи двух спутников, теней, немых и бесшумных; настроение это мне переживалось впоследствии, при созерцанье рисунка, изображавшего шествие по храмовым коридорам ведомого пленника в сопровождении птицеголового мужчины с жезлом.

Я впоследствии мальчиком ждал: вот откроется дверь; и - войдет: птицеголовый мужчина; и родимый клекот его огласит мою детскую.

#### ОБМОРОК

Наши комнаты: коридор, кабинет, кухня; и - далее, далее; но - еще есть комнаты; их убрали; и их расставляют, как ширмы; только выйдем мы с няней из коридора на кухню, как уже в столовую быстро ворвутся губастые черные рожи - а\_р\_а\_п\_ы: и - раздвигают все кресла; на опростанном месте они учреждают "в\_е\_р\_т\_е\_п": и - обставляют вертеп: кумачами; и папа в парчовом халате, в короне и с шаром в руке, появляется сам восседать в золоченом там кресле; и - мама становится д\_а\_м\_о\_й; и - ходит за папой; подают пузатую чашу и

открывают паркет; и опускают туда: под паркет; под паркетом - синеродные  
воды играют струей; под паркетом плывет водовоз, попирая ногами бубновую  
бочку; и быстроливым ведром наливает в пузатую чашу: сестренки; папа с  
мамой танцуют кадрили, а сестренки их просят: "Отдайте нас Котику!"  
По ночам иногда я не сплю: и в столовой мне слышатся стуки: танцуют  
кадриль - в "в\_е\_р\_т\_е\_п\_е"; утром встает с золоченого кресла мой папа; и  
запирает сестренку моих в крепкий шкаф; и д\_а\_м\_а становится м\_а\_м\_о\_й:  
проходит за папой; "вертел" разбирают а\_р\_а\_п\_ы; я ищу его...  
Где он, где?..  
. . . . .  
Тоже вот: -  
- будет, будет нам гибель: попадают плитки паркетом -  
в миры  
новых комнат!..  
В ожидании катастрофы я шил; она и случилась однажды: -  
- мы,  
паркетные  
плитки и я, - мы попадали в обморок (это было во сне); падать в обморок с  
той поры означало: падать в чужую квартиру, под нами, где доктор Пфеффер  
проказникам дергает зубы и откуда грозит нам чернобровая девка, Ардапка  
"Проказничать больше нельзя..."  
Помню я этот сон: -  
- выбегаю в столовую я, а за мной моя нянюшка с  
криками: "Обморок..." И этот обморок вижу я: он - дыра в лакированном нашем  
паркет; и я вижу в дыре: там - гостиная; она - в красных креслах, как наша;  
на стенах из огромных гирлянд багрянеют, грозясь: кисти красные роз заревыми  
роями; я туда падаю; шепоты, шумы, шипы, огни, пары, гари влетают в открытую  
дверь; и появляется сам доктор Пфеффер в короне; и чернобровая девка Ардаша  
становится дамою; и доктор Пфеффер кричит из отверстия усатого-бородатого  
рта:  
- "Я твой папа".  
А чернобровая девка, Ардаша, стреляет глазами:  
- "Я - мама".  
. . . . .  
Метафоры понимаю я точно: упал в обморок - значит! упал, куда падают; а  
ведь падают - вниз; внизу - пол; под полом доктор Пфеффер проказникам  
дергает зубы; и - попадают к нему.  
. . . . .  
Ощущение зыбкости стен и таимого мира под ними объяснимо, по-моему,  
крепнувшим порогом сознания, беспрепятственно простертого прежде в  
бессознательный мир, где я, з\_а\_п\_о\_р\_о\_ж\_е\_ц, сшибался со всяким  
т\_а\_т\_а\_р\_и\_н\_о\_м, - в с\_у\_б\_л\_и\_м\_и\_н\_а\_л\_ь\_н\_о\_е п\_о\_л\_е, усеянное

костями:

"О поле, поле, кто тебя  
"Усеял мертвыми костями?"

Эти кости - порог, а блуждание сознания по костям  
прежде павших существ - стены комнат; сознания в нашем  
смысле; но  
раздвигаемы кости; мне порог сознанья стоит передвигаемым,  
проницаемым,  
открываемым, как половицы паркета, где самый о\_б\_м\_о\_р\_о\_к, то  
есть мир  
открытой квартиры, в опытах младенческой памяти наделяет  
наследством, не  
применяемым ни к чему, а потому и забытым впоследствии  
(оживающим, как  
п\_а\_м\_я\_т\_ь о п\_а\_м\_я\_т\_и!) в упражнении новых опытов, где древние  
опыты в  
новых условиях жизни начинают с\_т\_а\_р\_у\_ш\_и\_т\_ь\_с\_я в н\_е м\_е\_н\_я и  
меня -  
тысячелетнего старика - превращают в младенца: то, что я -  
маленький,  
случайное несчастье, что ли: не истина, а - социальное положение  
среди  
более, чем я, позабывших и именуемых - в\_з\_р\_о\_с\_л\_ы\_м\_и; мне,  
младенцу  
(старикау ненашего мира), они объясняют игрушки; и объяснение их  
игрушек  
перетягивает внимание от во мне живущего мира - к играм, затеянным  
вне меня;  
и - создается п\_о\_р\_о\_г. -  
- Я его помню открытым.

#### ДРЕВНЯЯ ТАЙНА

На лакированной поверхности шкапчика линии деревянных  
волокон  
сбежались: -  
- темнородным пятном перепиленных суков -  
- как бы в две  
фигуры,  
склоненные смутными ликами из разлетевшихся складок - друг к другу:  
что-то  
поведать друг другу -  
- таить, молчать, вспоминать: какую-то древнюю  
правду,  
которой касаться нельзя:  
- "Ни-ни-ни!" -  
- которую вспоминаешь ты, так же вот,  
поклоняясь  
без шепота: образы посвященных переживались мной впоследствии  
так, как  
полное тайны склонение покровенных фигурок на шкапчике... из  
разлетевшихся  
складок; и - образы склоненных волхвов в великолепных коронах  
над ясным  
Дитятей: в киоте; и моргает киот самоцветным рубином; и от рубина  
потянутся  
красные, ясные лучики; один волхв - трубочист: черен ликом и красен  
губами;  
и красные губы раскрылись, как будто поет он; и мне говорят про  
волхва, что  
он - Мавр -

- на лакированном шкапчике линии деревянных волокон  
сбежались к  
двум пятнам: перепиленных суков; и эти пятна - не пятна, а  
м\_а\_в\_р\_ы, то  
есть, темные богомольные лица: волхвов.

. . . . .

Невыразимое чувство: -  
- я его впоследствии узнавал, неоткрытым  
в своей  
остроте, но мне глухо-звучающим под образами и событиями  
жизни - в  
произведениях искусства, в грохоте городов, между двух подъездных  
дверей;  
более всего - на ребре Хеопсовой пирамиды, в час тихий вечера, когда  
солнце  
Египта зловеще отускневало в подпирамидной пыли; и - плавали  
золото-карие  
сумерки; плавали главы пальм, занесенных песчаной пылью; и -  
будто  
бесствольных; чернея с громадных ступеней, феллах подымал на меня  
одинок  
гортанный свой голос... -  
- Много раз приходило ко мне мое  
странное  
чувство...

. . . . .

По утрам из кровати, бывало, смотрю: на узоры стоящего  
шкапчика; я  
умею скашивать глазки (смотреть себе в носик) ; узоры, бывало,  
снимаются с  
мест: прилипают мне к носику линии деревянных волокон двумя  
темнородными  
пятнами перепиленных суков; и мне кажется: две фигуры склонились  
своими  
неясными ликами, как два Мавра, - из разлетевшихся складок: над  
маленьким  
мальчиком; пальчиком трогаю их; но легко и воздушно сквозь лики  
проходит мой  
пальчик; моргну -  
- и темнородные пятна перелетают на шкапчик...

Среди дня я на них посмотрю - тысячелетием древнего мира  
мне немо  
склонились фигурки; и мне кажется, что у меня за спиной - не стены, а  
такие  
же точно миры, как на маленьком лакированном шкапчике: волокнисто-  
темнеющие,  
золото-карие, где все плавают сумерки меж бесствольными кущами; и  
чернея  
оттуда, зовет о\_н (а кто - я не знаю); и - одиноко подымет  
гортанный свой  
голос - повертываюсь: -  
- вместо золото-карего мира - стена:

этажерочка (та  
же!) стоит себе; и на ней - строй солдат; оловянные гренадеры мои  
серебрятся  
мне лицами... Сидит моя нянюшка.

. . . . .

Среди ночи, бывало, лежу; и повешено мне на стенке окошко; там -  
стылая  
ясность вечернего неба; и стылая ясность вечернего неба дрожит; и -  
- самоцветная звездочка -  
- мне летит на постель; и - уколется усиком; я потру  
кулачком свои

глазки: и возникнет в закрытых глазах моих центр; и - исходят из центра мне  
трепеты молний; а центр раздвигается: строятся светлые комнаты; из центра  
несутся: центр ширится - раздвигается в синий глаз: синий глаз - добрый  
глаз; но... я глазки открою: -

- и вижу: -

- нянюшка моя под киотом;

кладет там

поклоны; и красным рубином моргает протканная риза; и - Мавр протянул свои

руки: над ясным дитятей разводит ладонями - из разлетевшихся складок.

. . . . .

Я впоследствии взрослым смотрел с ожиданием на лакированный шкафчик:

две фигуры, склоненные смутными ликами, там слагались по-прежнему; и -

ничего не могли мне поведать; пересчитывал я деревянные волоконца под лаком;

и рассматривал темнородные пятна перепиленных суков.

## ЦЕРКОВЬ

Спины, склоны, поклоны -

- как полное тайаы сложение деревянных

фигурок

на шкафчике... -

И за спинами - голоса: -

- поднимают какую-то огромную, но позабытую

истину:

древнюю; мне когда-то открытую в храме (когда это было?).

Громкий зов я забыл: забыл солнечный голос!

И - вот он раздался: -

- дергаю бабушку за края ватерпруфа и собираюсь расплакаться...

Но меня приподняли (и - мне узреть!): -

- блистающее, как

золотое

светило небесное, чернобородое божество там стояло перед распахнутой дверью

- в т а и м у ю к о м н а т у блесков; и, подымая высоко десницу, с

блистательной лентой, провозгласило: голосом, от которого чуть не лопнули

стены... -

- блеско-громное, огромное Солнце, на котором я жил,

опустилось на

нас: провозглашенным глаголом - провозглашенным единственным раз, потому что

мир не способен вторично услышать гласимого: он, наверно, провалится... там

- в сияющей синеватости дымов вставали светящие:

б л а г а и

ц е н н о с т и... неопикуемых, непонятнейших форм; там, оттуда, - на миг

показалась т а с а м а я Древность в сединах; и пышные руки свои развела: из

Золотого Горба; и казалось мне, что стоял перед нами: Золотой Треугольник;

две руки, как лучи, протянулись направо-налево от белого лика:, белый лик,

точно око, глядел в золотом треугольнике; и - миры миров там чинились: под

багряной завесю; человекоглавое серебро из руки затеплило звезду;  
золотую  
планетою дориносилася Книга... к престолу, сквозь разрывы  
завесы; но  
таинница строгих дел там закрылась; и -  
огне, по - красные, кудлатые люди в  
бокам, как загаркали в ужасе!.. -  
спины, но - Тут меня опустили под  
еще долго мне слышались какие-то багровые ревы; серебрились и  
синились  
дишканты: точно четыре животных подхватили провозглашенные вопли; и  
катали  
их... п\_о м\_и\_р\_а\_м; из подкинутой чашечки на серебряной цепи  
вылетали  
душистые клубы... над спинами; как крылами, громами бил храм; и в  
глаголы  
облекся, как в светы...  
. . . . .  
Очень скоро за узренным раздаются глаголы и мне: об ангелах,  
рае и...  
Боженька; окончательно выясняется мне, что таимая комната -  
Церковь, где  
староста Светославский обходит с тарелочкой; в Золотом Горбе, у  
престола  
подъемлющий руки, есть "б\_а\_т\_ю\_ш\_к\_а", или - священ\* ник; когда  
он без  
парчи, то он - "п\_о\_п"...  
П\_о\_п, п\_о\_п\_ы, п\_о\_п\_а\_д\_ь\_я, п\_р\_о\_с\_ф\_о\_р\_а,  
п\_р\_о\_с\_в\_и\_р\_н\_я  
слова, которые меня просветили; главным образом - бабушка; тут  
она знала  
толк; я ее считал - п\_о\_д\_п\_р\_о\_с\_в\_и\_р\_н\_е\_ю; бывало - она  
перекрестит;  
бывало - подсунет мне в ручку пузатенький хлебик:  
"п\_р\_о\_с\_в\_и\_р\_к\_у";  
поминаньице -  
- лиловая книжечка -  
- все, бывало, с ней рядом; и  
даже она  
понесет поминаньице, лиловую книжечку, с просфорой на поднос: и ее  
унесут: в  
миры блеска; и даже, бывало, пошутит она с попадьей; и - даже! -  
пройдет с  
крестным ходом: за ним, з\_а\_с\_а\_м\_и\_м, - - за Иоанникием,  
Митрополитом  
Коломенским и Московским.  
. . . . .  
Мне дорога жизни протянута: через печную трубу, коридор, через  
строй  
наших комнат - в Троице-Арбатскую Церковь, где наш староста,  
Светославский,  
обходит с тарелочкой...

#### СТРОГИЕ СТРОИ

Все, возникающее из-за коврика, было мне не на пользу; там,  
оттуда -  
шли поступи; и галопида времен приближалась; она разбивалась о  
правило: о  
мой завет с нянюшкой -  
- мне жить по закону; и - в правиле:  
около угла,

сундучка, при часах; слушать тихое тиканье; то есть:  
жить в  
строгих строях; не перетягивать цепочки за гирию; не  
останавливать  
тиканье; не искать новых комнат; галопируя, не забегать в  
коридор;  
и не шелкать под креслами; не залезать под подол; и  
пушистую  
кисиньку не таскать за приподнятый хвостик; главное чтобы  
бабушка  
не сломалась, как сломалась однажды она, как  
недавно мной  
сломанный слоник: -  
- как она к нам подседала; и подзывала  
меня: ее  
тиснуть; ну, - я ее тиснул; она же сказала: "Сломаюсь". Я  
тиснул  
еще ее; и - сломал; хохотали все: папа, мама и няня;  
но я...  
сломал бабушку!.. -  
- словом, мне быть: не шалить;

проживать  
формалистом; и даже... буддистом.

Что-то и доселе живет во мне в фуге Баха и в белой дорической  
колоннаде  
от моего мира с нянюшкой; и от вечного тети-дотина мира.

В более позднем младенчестве этот мир строгих строев (строевая  
служба

моя) представляется мне миром зданий, гамм, руляд, крамеровских  
этюдов и

Ч\_е\_р\_н\_и (экзерсисы Ч\_е\_р\_н\_и вы помните?); особенно:  
государственных

учреждений, массивных и каменных, без орнаментной лепки, но с  
колоннадою:

николаевских серых и белогжелтых казарм, александровских и  
мариинских

институтов, гуляющих парами, в пелеринках, больниц, богаделен; и  
даже -

пожалуй - мне розовый Вдовый Дом напоминал этот мир  
(неподалеку от

Пресненской части, где выскакивал бородатый-рогатый  
козел и,

бодаясь-брыкаясь, летел впереди вестового, предшествуя "Части";  
и где

бродил он степенно от Пресни и до... Горбатого Моста); все  
богаделенки няни;

вдовы же, то есть старые девы (что то же), представляются мне  
до сих

пор... и\_н\_т\_е\_р\_е\_с\_а\_м и Веры Сергеевны Лавровой: -

- Вера

Сергеевна

Лаврова - знакомая тети Доти, пахла прельми яблоками; и  
загадывала на...

Бабашкина; выходило всегда, что Бабашкипу предстоят  
и\_н\_т\_е\_р\_е\_с\_ы;

и\_с\_п\_о\_л\_н\_е\_н\_и\_е и\_н\_т\_е\_р\_е\_с\_о\_в - четыре десятки ложилось не  
редко...

. . . . .

Этот строй мне знаком; противопоставлен он р\_о\_ю; с\_т\_р\_о\_й  
оковывал

р\_о\_й; с\_т\_р\_о\_й - твердыня в бесстроице; все остальное -  
т\_е\_ч\_е\_т, как,

например... дети Ветвиковы: притекают откуда-то к нам - колесить и  
дразнить.

Все это на меня налетит, обестолковит и схлынет. И останется тихий мой мир;  
и в нем - я, надо всем -  
- стрекотание спиц из простенка и темные орбиты  
нянюшки Александры: из-под белого чепчика.

#### ФУНДАМЕНТ АЛИКОВ-ЧЕМОДАНИКОВ

Фундаменталиков-Чемодаников, ученик ремесленной школы, - этот был  
безобразник; на металлический сундучок приходил он посиживать из угла  
коридора; и разговаривал с нянюшкой о ремесленной школе; о воспитанниках  
этой школы; и о том, - сколько их...  
Мне казалось, что они грохотали у нас по ночам; в лабиринте из комнат с  
толпами - вот таких же точно, как и они, безобразников; это были д\_и\_к\_и\_е  
п\_л\_е\_м\_е\_н\_а, населявшие миры дальних комнат; я с волнением взирал на  
сидящего б\_е\_з\_о\_б\_р\_а\_з\_н\_и\_к\_а, учиняющего в ночных переходах ужасные  
нападения на детей; (с Фундаменталиковыми-Чемоданиковыми грозно бьются в  
огнях трубочисты! отражая их черные полчища, нам грозящие и угаром й  
сажами).

Папа его отчитал:

- "Знаете: вы - молодой человек..."

- "Ученик ремесленной школы..."

- "И - ай, ай - что вы сделали!"

- "За такие поступки вам, сударь мой, в нос проденут кольцо: и -

поташат по улицам с городовыми..."

Мне все думалось после: Фундаменталиков-Чемодаников -

- ай, ай,

ай! -

-  
п\_о\_с\_т\_у\_п\_и\_л, то есть позволил себе своевольно т\_я\_ж\_е\_л\_у\_ю

п\_о\_с\_т\_у\_п\_ь: н\_а\_р\_о\_ч\_н\_о гремел по паркету; мне открылось тогда: кто

н\_а\_р\_о\_ч\_н\_о гремит по паркету, тот свершает поступок; за поступок же

всякий! - огромных размеров кольцо продевается в нос; и тут вспомнилось мне,

что поступил еще хуже я: шелкнул во мрак пустых комнат; оттого-то и

прибегал Дорионов: мне продеть в нос кольцо; и - утащить за собою...

. . . . .

И уже значительно позже: -

- видя черные рожи индейцев с

продетыми в

носу кольцами, понимал я отчетливо: все они - безобразники: с тяжелою

поступью: Фундаменталиковы-Чемоданиковы.

#### ПАЯЦ-ПЕТРУШКА

Курий крик -

- Крр-кр! -

- каверзник: растрещался трещоткой; он -

грудогорбая, злая, пестрая, полосатая финтифлюшка-петрушка: в редкостях, в едкостях, в шустростях, в юростях, востреньким, мертвеньким, дохленьким носиком, колпачишкой и щеткою в руке-раскоряке колотится что есть мочи без толку и проку на балаганном углу -

- Крр-крр-кр! -  
- высоко!

Я -

- подтянутый,  
схваченный,  
вскинутый! -

- с изумлением, строгостью и безо всякого наслаждения рассматриваю вредоносное, вострое, пестрое и очень злое созданище, как дозируют тарантулов в опрокинутой банке: как бы не выскочил укусить; и -

-

Кррр-крр-кр! -

- разрезает картавенький голосок как точеными ножницами:

подчирикнул, подпрыгнул, подпрыгнул и нет его - на балаганном углу; падают лишь снежинки на носик.

Тут ударили в бубны.

Меня же, дрожащего, покрытого смертной испариной, продолжают -  
- подтягивать,  
схватывать,  
вскидывать! -

тащут за

руки, без всякого милосердия: под полотно балагана, где кипят и пучатся

бубны - под полотном балагана! Мы спешим в кровавые кумачи, в мимотекущие

ураганы и старые-старые ярости, где нас всех прищемят, растиснут, раскрошат,

завертят, закрутят, зажарят и... сбросят -

- в пропасти

колесящих

карбункулов! -

- Вот уже кровавые кумачи с курьим криком

Петрушек, из

которого вдруг выхватывается на нас, обдавая нас пламенами, мелолицый

колпачник и что есть мочи замахивается своей медной тарелочкой" Мне говорят:

- Вот - паяц! -

- но на бывалое безобразие отвечаю я криком!

#### ФИЛОСОФ

В это время себя вспоминаю философом я: -

- ползая под

столом, под

подолом, под стулом - при нянюшке! - я не просто ползал, а - так сказать - с

ударением, как подобает ползать дельцу, побывавшему во всех передрыгах; и -

колесившему по пустотам; ползал я - в настоящема без всяких видов на будущее  
 - без проэктов, без планов; и - конечно же! - без надежд (обманула манная кашка!)...; с достоинством отдаюсь я огромным рукам; и меня, как царя, уж сажают в высокое креслице, откуда взираю я на текущие события мира с философским спокойствием: -  
 - стародавний орфист; я проник в мир мистерий; в  
 о мирах изначальной змеи, вспоминая свою коридорную бытность,  
 кое-что рассказать бы я мог. мне в младенческих ужасах открывались  
 миры древних гадов, и гад дядя Вася стоял во главе их...  
 - Я - боролся со Л\_ь\_в\_о\_м...  
 - Старый Гераклитианец - я видывал метаморфозы вселенной в  
 пламенных ураганах текущего; и я знал очень твердо; что сегодня -  
 нянина голова, то когда-нибудь - отверстие лампы; (няни нет уже -  
 утекла: я не помню, когда это было; но знаю - прогнали мою молчаливую нянюшку).  
 - Папа бьет нам вулканом; и - наполняет все комнаты керосиновой  
 копотью, в копоти бросается трубочист меня выхватить из пожара;  
 передает меня нянюшке; нянюшка строит дорических стен отражает  
 огонь; и - отражает нам полчища "корибантов":  
 Фундаменталиков-Чемодаников; доктор Пфеффер, пац - нападают на  
 нас; мир х\_т\_о\_н\_и\_ч\_е\_с\_к\_и\_х\_ к\_у\_л\_ь\_т\_о\_в пронизан струей  
 аполлонова света; и возникает т\_р\_а\_г\_е\_д\_и\_я:  
 воспоминаний о нянюшке...  
 . . . . .  
 Анаксимандр, Фалес, Гераклит, Эмпедокл пробегает по нашей квартире на  
 чувственных знаках:  
 Говорю:  
 - "Рой, ро\_и\_ - все роится".  
 Фалес меня учит:  
 - "Все полно богов, демонов, душ..."  
 Передо мною - огни: в страшный мир колесящих карбункулов распадается  
 мне темнота; метаморфозы охватывают; а - Гераклит мне твердит:  
 - "Все - течет".  
 С Анаксимандром мы ведаем беспредельности; Эмпедокл бросается в Этну; я  
 - падаю в обморок.  
 В эту давнюю пору разыграна и разучена мною: вся история греческой философии до Сократа; и я ее отвергаю.  
 Перечитывая "И\_с\_т\_о\_р\_и\_ю\_ г\_р\_е\_ч\_е\_с\_к\_о\_й\_ ф\_и\_л\_о\_с\_о\_ф\_и\_и":  
 - "Нечего ее изучать: надо вспомнить - в себе".

невольно,  
забвеньи  
больно.

А. Фет

И этих грез в мировом дуновеньи  
Как дым несусь я, и таю

И в этом прозреньи и в этом

Легко мне жить и дышать мне не

#### КОТИК ЛЕТАЕВ

Мне четыре года; родился я вечером: около девяти; вскричал -  
ровно в  
девять; над моим появлением на свет постарался - лейб-медик:  
профессор  
Макеев; тут же его я обидел: -  
- он, взявши на руки, меня хотел  
приласкать, а  
я... я... я...: словом он побежал к рукомоЙнику...  
Я его видывал после, на улице; маленький старичок, положивши  
на плед  
свои руки, пролетит в коляске, бывало; и седюю  
головкой -  
направо-налево-направо; наушники шапки болтаются; и - удивляется  
улицам;  
детские голубые глаза на меня уставятся - нет их; думаю: вот -  
профессор  
Макеев, лейб-медик, когда-то старался, чтоб мне его видеть; кабы не  
он, мне  
бы его не увидеть; я его узнаю; а он - нет.  
Говорили мне: при моем появлении на свет свой огромный том мне  
прислал  
академик Грот с своей надписью; не видал этой книги я, но  
всегда ей  
гордился.  
Очень я любил повторять со слов мамы, что, когда меня подносили  
к окну,  
я увидел вспыхнувший газ в колониальном магазине  
Выгодчикова, -  
разволновался, затрясся и торжественно произнес - свое первое слово:  
- "Огонь..."  
Это - помнил я твердо.  
Я ходил - тихий мальчик, - обвисший кудрями: в пунсовеньком  
платъице;  
капризничал очень мало; а разговаривать не умел; слушал речи  
других,  
склоняясь над сломанным слоником; и, отвечая на ласки, я терся  
головкой о  
плечи; прогнанный, отходил в уголок, чтобы оттуда мне медленно  
подбираться к  
коленям: поспать на коленях.  
Или я смирно садился на креслице: мне подумать на креслице;  
свои руки  
сложив в ручках креслица, - думал на креслице:  
- "Почему это так: вот я - я; и вот - Котик Летаев... Кто же я?  
Котик  
Летаев?.. А - я? Как же так? И почему это так, что -  
- я - я?.."  
Из-под бледно-каштановых локонов, падающих на глаза и на плечи,  
я из  
сумерек поглядывал: в зеркала.  
И становилось так странно...

. . . . .

## ДЕНЬ КОТИКА ЛЕТАЕВА

Из кровати смотрю: на букетцы обой; я умею скашивать глазки; и стены,  
бывало, снимаются: перелетают на носик; легко и воздушно сквозь стены  
проходит мой пальчик; ах, туда бы головку; но - непроглядные стены! -  
моргну: перелетают на место.  
Раиса Ивановна, бонна, встает из постели; одеяло откинет; и голыми  
ножками - в пол; подбежит босиком в белой теплой рубашке: вынимать  
меня из  
постельки, одевать чулочки и лифчик, и мне - улыбнется.  
Девять часов; а не то - половина десятого; и Раиса Ивановна в  
ясненькой  
красненькой кофточке разливает чай (мама спит: она встанет к  
двенадцати);  
сагловар трещит: и самосыпные искры летят нам на скатерть;  
носик мой  
упирается в край стола; и захрустел на зубах край поджаренной  
булочки; папа  
- в форменном фраке: кудро. лобый, очкастый; захлебнул чай  
усами;  
светлоливая капелька капнула с его мокрых усов в синий бархатный  
отворот  
его синего чистого фрака; фалды фрака, качаются; двуглавые  
золотые орлы  
золотых его пуговиц - строжайше расставили крылья.  
Папа едет на лекции: лекции - липни листиков; многолетие  
прожелтело их;  
листики сшиты в тетрадку; по линиям листиков - лекций! - летает  
взгляд  
папочки; линии лекций - значки: круглорогий, прочерченный икс  
хорошо мне  
известен; он - с зетиком, с игреком.  
Папа водит по ним большим носом; и, шелкая крепким крахмалом,  
бормочет:  
- "Так-с, так-с!"  
И получается: "Такс".  
Иксики напоминают мне таксиков: напоминают собачек; таксики  
(думал я)  
вырастают из этих крючочков; их встречал на бульваре я уже  
значительно  
позже, весной; продувные, нелистые деревья желтоглазились почками;  
бульвар  
лился людом; и на пологие лобики песиков я укладывал ручки.  
Самовара нет. Папы - нет.  
. . . . .  
За окнами все-то крыши: и удивленные горизонты - раздвинуты,  
пусты.  
Наша гостиная -  
- уставлена красными креслами; с подоконников  
подымают  
печальные пальмы свои линии листьев; злые, зеленые зеркала - в ясном  
золоте  
рам: и Раиса Ивановна передается из зеркала в зеркало; и все -  
валится, не  
падая, набок; а пол - скачет вверх. И Раиса Ивановна  
принимается меня  
обнимать; и - зеркалами пугать; и - все валится, не падая, набок,  
а пол -

скачет вверх...

. . . . .

Наша столовая, как денница, вся белая: -

- на летящих спиралях

с обой

онемели давно: лепестки белых лилий легкотенным изливом; у обой гнули стулья

ломкие полукруги сидений; из обой просунулась круглота: деревянная голова;

стрекотала строгими стрелками на циферблатном оскале; кружевные гардины, как

веки, тишайше белели под окнами; дубостопный желтый буфет - он один

будоражился; и, бряцая посудой, кидался на прохожих у двери.

После ночи, бывало, войду, посмотрю; и окнами, как глазами, посмотрят

одни бледноглазые стены; и бледноглазая ясность покроет покоем.

Наша столовая - утреница; а -

- темно в коридоре: в

коридорной печи

залетали огни; чернорогая женщина меня ждет в коридоре.

Тонкою нитью прояснилось многокружие паутины; и -

- Раиса

Ивановна, -

-

милая! -

- глядя искоса на меня, наклонилась кудрявой головкой

к своим

красным тряпкам, перекусивши зубками нитку; протягивается иголка; и -

- "Was ist das?"

- "Das ist..." -

- мне не помнится слово.

Мои кубики порассыпались; и - головкой - в колени; ручка в ручку; и -

ничего; мы - пройдем... коридором...

Чернорогая женщина, может быть, забодает нам - маму...

. . . . .

Мама проснулась - зовет нас: -

- меня берет на постель; треплет

кудри; и

я - перед ней кувыркаюсь:

- "Котик, маленький..."

Альмочка кувыркается тоже: и уже бьет двенадцать часов; пора маме

вставать: уж на кухне стоит дымно-шипный котел; и огонь бьет в котел,

прободая железную вейку; там - в железной печи, - окаляет поленья: краснорогий огонь из трескучих печей поедает поленья. Побегу в кухню я - шепоты,

шумы, шипы, огни, пары, чады.

. . . . .

После завтрака -

Наш веселый кузен Веревитинов с дымнокудрой сигарой в руках все-то

щелкает пальцем на Альмочку, которая поедает щеняток, и Раисе Ивановне нежно

посмотрит он в глазки: в агаты; из кудрокрылового личика мамочка бирюзеет

глазами на нас и капризно качается на качалке в своей красной косыночке,

поджидая к себе Поликсену Борисовну Блещенскую в великолепной карете:

кататься; и бледная ленточка с ясным бубенчиком гремит в ее пальцах:  
это -  
лиловая ленточка; бубенчик - серебряный; Миловзорилов перевязал ею  
мамину  
руку.

Миловзорилов - светлогрудый гусар; и это все - "котильон".  
Поликсена Борисовна позвонила: мамочка привскочила с  
качалки и  
протянула мне ручки; я зарылся головкой в коленях: пенъяр  
разлетается от  
нее самокрылыми змеями.

Кучер - с лазурной подушкой на голове: прирос толстым задом;  
воронье  
кони хрипят, жуют мыльные удила - с угла Арбата: ждут мамочку; это  
вижу я из  
окна: из серебряных листьев мороза; мамочка, в коричневом  
казакине и в  
брошке, надела ротонду; она - к Блещенским на весь день; и  
вечером - в  
бенуар.

Нам пора на прогулку.

. . . . .

Тут с меня снимут туфельки; и проденут ножку чулочком - в  
меховой  
сапожок; и принимается кто-нибудь, сапожок уперши в колени, крючком  
щипать  
мою ножку.

Каждый день мы идем: на Пречистенский бульвар погулять (на  
Смоленский  
бульвар мы не ходим: там дурно воспитаны дети) ; кто-нибудь ходит  
там; и  
вдруг сядет на лавочку; на меня поглядит; и - значительно посылает  
улыбки;

все они улыбаются мне; все они уже знают, что Котик Летаев гуляет;  
хлопает

крыльями чернокрылый каркун, и вислоухая шуба сутулится в снеге;  
спегосынное

дерево вздрогнуло; а уж кто-нибудь, вставши -  
- медленно уходит  
туда: в

крылоногие ветерки; обернется, кивает...

А уже набежали на нас: крылоногие ветерки; веют бе-, лые  
вей на  
разгасившихся щечках; дымит куча снега; песик к ней подбежал и над  
нею он

поднял: мохнатую ногу; я бросаюсь к лимонному пятнышку, но Раиса  
Ивановна -  
"пфуй"!

Ах, как жалко!

Безрукая шуба щетинится комом древнего меха в снега; и  
хлопает в

воздухе крыльями; я бросаюсь на шубу; обхватить ее ручками; она  
нагибается

низко, и из шершавого меха, под шапкой, уставятся: два очка; и белая  
борода

прожелтится усами; шуба - гуляет, как я; и она называется: Федор  
Иваныч

Буслаев; и Федор Иваныч зашамкает -

- птичка ему рассказала, что Котик  
Летаев

сегодня гуляет; и он Котику принес на бульвар кое-что: и дрожащей  
рукой меня

треплет по разгасившимся щечкам; и кусочек рябиновой пастилы  
осторожно

просунет мне в ротик, кивая очкастою головой; Федор Иваныч Буслаев гуляет,  
не на ногах, а... на шубе (живет в своей шубе), а шуба проходит: чернокрылые  
каркуны сквозь суки пропорхнул" ей вслед.  
Рассыпаются снеговые вьюны; рассыпаются неосыпные свисты; пахнет  
трубами в воздухе; золотою ниточкой фонарей многоочитое время уже побежало  
по улицам: предвечерним дозором; все на небе расколото; кто-то блистает:  
оттуда, из-за багровых расколов; желтеет, мрачнеет; и - переходит во тьму.  
Мы - домой.  
. . . . .  
Вечером: -  
- на летящих спиралях, с обой, кружевеют, горя, косяки  
красных зорь: бледно-розовым роем, а -  
- Раиса Ивановна  
мягким,  
агатовым взглядом таинственно переводит мой взгляд: переводит туда, где -  
-  
багровая голова, со стены хохоча, отгрызнулась оскалом.  
Не успею я вскрикнуть: Раиса Ивановна -  
- милая! -  
- шаловливо уж  
клонит  
свой локон в мой локон; и - начинает смеяться.  
Кружевные дни - на ночи: повторяют себя - на ночи; тени свеялись из  
углов; тени свесились с потолков; и, возникая из воздуха, - чернорogie  
женщины проходили но воздуху.  
. . . . .  
По вечерам мне Раиса Ивановна все читает -  
- о королях, лебедях;  
ничего не  
пойму: хорошо!  
Мы - под лампою; лампа лебедь; и ширятся лучики - в белоснежные  
блески  
развернутых солнечных крылий, пересекаясь в ресницах; застреваю в волосиках,  
пошекоцут ушко они; полудремотно ласкаюсь я к лучикам; голова на коленях:  
ласкаюсь к коленям; все отхлынуло - в теневое, темное море; спинка кресла -  
скала; она набегает, растет: хорошо!  
Со скалы: -  
- (Явь ушла в полусон: в полусон вошла сказка) -  
стародавний  
король просит верного лебедя по волнам, по морям плыть за дочкой в  
страну незабудок (когда это было?) -  
- лампа -  
лебедь: с лебедем улетаю и я: -  
- мы - кидаемся в волны;  
несемся по  
воздуху в голос: забытый и древний: -  
- . . . . .  
. . . . .

"Я плакал во сне.  
"Мне снилось: меня ты забыла.  
"Проснулся... И долго, и горько  
"Я плакал потом..."

(Это - кто-то: поет из гостиной...)

Полусон мешается мне со сказкой, а в сказку вливается голос: -

мы - в  
воздухе: на лебединых, распластанных крыльях, где на  
протянутых струнах воздуха разыгрались арфисты и где лебединые  
перья, как пальцы, сиянием проходят по ним; лебеди переливаются по  
лазурям, а из лазурей -  
у\_ж\_е - (б\_е\_з\_з\_в\_у\_ч\_н\_о, к\_а\_к п\_р\_е\_ж\_д\_е,  
к\_и\_в\_а\_е\_ш\_ь м\_н\_е т\_ы: тебя не было; плакал я без  
тебя; все забывши, я плакал; ты вернулась ко мне - лебединая  
королевна моя) -

. . . . .

"Я плакал во сне.  
"Мне снилось: ты любишь, как прежде.  
"Проснулся, а слезы все льются...  
"И я но могу их унять..." -  
- Несемся! все

вместе.

Несется и красный Наставник за нами: тысячелетием,  
пламенами и пурпуром: -

- открываю глаза: лебедь - лампа. Лебедя  
вырежет мне

Раиса Ивановна завтра...

. . . . .

Воспоминание детских лет - мои танцы? под лампою; в\_с\_е в\_о  
в\_с\_е\_м:

насыпают в чайницу чай; и над куском кабинетной стены под самоваром  
бормочет

быстроглазый мой папа; в кабинете стен нет! вместо стен -  
корешки, за

которые папа ухватится: вытащить переплетенный и странно пахнущий  
томик!

вместо томика в стене - щель; и уже оттуда нам есть; -

- проход в иной

мир; в

страну жизни ритмов, где я был до рождения и оттуда теперь  
вынимаю

я пальчиком... паутинник; папа же томик раскроет; и -

бросятся -

-  
крючковатые знаки: дифференциала и... функций; эти функции  
ползают на

крючочках; и, вероятно, кусаются, как... мурашки, которые  
позавоидились в

буфете и которые... -

- раз принесли мне кусочек черствого хлебика...

из него

делать грешника, то есть обмакивать в чай; разломил  
кусочек, а

                  там-то -

                  - в кусочке-то! -

                                  - мурашки: -

  - красные! -

  - ползают! -

  -

папа

          придвинул свой нос, и, подпирая очки двумя пальцами, он заерзал  
лицом и

          воскликнул:

                  - "Ай! Какая гадость: мурашки!"

          Сам же он поразвел на дому всяких функций на листиках (до  
функций

Лагранжа включительно), и существа иных жизней во всем: и в буфетных  
щелях,

          и в паутине под шторой -

                                  - видел я там брюхоногую функцию: -

  - папа

пестрит

          своей ф\_у\_н\_к\_ц\_и\_е\_й белые листики; ф\_у\_н\_к\_ц\_и\_и с листиков  
расползаются

          по дому; листики бросит в корзиночку; я же листики вытащу; и  
- Раиса

          Ивановна мне из них нарежет ворон; все вороны мои не простые, а -  
пестрые; и

          - на себе они носят; многое множество растанцевавшихся иксиков; мне  
надоели

          вороны; и я - гляжу в иксики: -

                                  - в иксиках - не бывшее никогда!

          В них - предметность отсутствует; и - угоняются смыслы...

          Вечер: мне - пора спать. Мамы нет (она на "Маскотт" - в  
бенуаре); мы с

          Раисой Ивановной за вечерним столом вместе с бабушкой и  
Серафимой

          Гавриловной, старушонкой; папа там, под самоваром, бормочет: у  
чайницы,

          черной, лаковой и китайской; на этой к\_и\_т\_а\_й\_н\_и\_ц\_е - вижу я:  
золотые

          сады, многокрышие домики, золотые птицы и люди - китайцы.

          Все одно: золотой Китай или... чай.

          Папа выставит на Серафиму Гавриловну из-за книги и  
тайнственно

          подмигнет ясноглазым лицом:

                  - "Серафима Гавриловна: Страшного Суда-то не будет".

                  - "А как так не будет?"

                  - "Судную-то трубу украл, видно, черт: переполохи на небе..."

Об этом

          писали в газетах".

          И Серафима Гавриловна нам обиженно пожует блеклым ртом.

          - "Переполохи и неприятности: у Николая Угодника с  
Михаилом

          Архангелом..."

          И тут примется утапатывать в коридор повеселевший вдруг папа: и  
уже -

-

          "Почистите сюртучок!" -

          - раздаётся оттуда; мне - не весело: что-то  
будет!

          Папы нет; папа в клубе: один; и все - в бесподобиях;  
переполохи в

углах; и неприятности - под полом; и лишь один потолок в световых  
кружевах;  
комнаты, как ковши, зачерпнули за окнами мраку; и, как ковши, - полны  
мраку;  
Серафима Гавриловна спряталась в листья лапчатой пальмы:  
озираться,  
топтаться и, содрогаясь, бояться - темнотного топота; тихонравная  
бабушка -  
ушла в кухню; переливается звездами неосыпное небо.  
И - ползает функция.  
Раиса Ивановна меня уложит в постельку.  
. . . . .  
Мне не спится... Повешено мне на стенке окошко: там - стылая  
ясность  
вечернего неба и стылая ясность вечернего неба дрожит; и -  
-  
самоцветная  
звездочка -  
- мне летит на постель; глазиком поморгает; усядется в  
локонах;  
усом уколется в носик: чихну.  
А звездоглазое небо моргает в окошке.  
Вот откроют форточку, и, как безгорбое облако, тихо-плавно  
войдет  
синий холод; остужать синеродом: -  
- и певчая стаечка звезд -  
к нам  
ворвется; кружить по углам и наполнить все щебетом: -  
-  
две от  
стаечки отделятся и начнут порхать друг над другом, затеяв  
веселую  
драку, а какая-нибудь сядет к Боженьке в уголок; трогает  
крылышком  
огонек и пробует маслица из лампадки: -  
- все же другие  
блистающим  
одеяльцем опустятся на меня: распевать небесные песни: -  
Сплю... -  
. . . . .  
А за окнами все подтянуто, втянуто: в синеродную вышину, а  
она-то  
носится звездами, то - под собою их гонит; катится наливная  
звезда за  
перекладину рамы; и быстротечное небо несется, чтобы прогнаться под  
утро:  
уйти восвояси.

#### ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Впечатления первых мигот мне - записи: блещущих, трепещущих  
пульсов; и  
записи - образуют; в образованиях встает - что бы ни было; оно -  
образовано.  
Образование меняет мне все: -  
- и точки моих впечатлений дробятся -  
-  
душою  
моею! -  
- и риза мира колеблется; по ней катятся звездочки законами  
пучинного  
пульса; и безболезненно гонится смысл любого душевного взятия  
метаморфозами  
красноречивого блеска, где точка -

- понятие! -

- множится многим

смыслом; и

вертит, и чертит мне звенья летящей спирали: объяснение - возжение  
блесков;

понимание - блески в блеснах, где ритм пульса блесков мой  
собственный,

бьющий в стране танца ритмов и отражаемый образом, как -

п\_а\_м\_я\_т\_ь\_о

п\_а\_м\_я\_т\_и!

Преображение памятью прежнего есть собственно чтение: за  
прежним

стоящей, не нашей вселенной; впечатление детских лет - пролеты в  
небывшее

никогда; и - тем не менее сущее; существа иных жизней теперь  
вмешались в

события моей жизни; подобия бывшего мне - сосуды; ими черпаю я -  
гармонию

бесподобного космоса.

П\_а\_м\_я\_т\_ь\_о\_п\_а\_м\_я\_т\_и - такова; она - ритм; она - музыка  
сферы,

страны -

- где я был до рождения!

Воспоминания меня обложили; воспоминание - музыка сферы; и эта  
сфера -

вселенная. Впечатления - воспоминания мне моей мимики в стране жизни  
ритмов,

где я был до рождения.

#### СИНИЙ ГЛАЗ - ДОБРЫЙ ГЛАЗ

- "Сколько надежд дорогих", - поет мама, бывало...

- "Сколько счастья", - подхватит, бывало, двоюродный мой дядя.

- "Благих", - сливаются голоса...

Светослужение - начинается; -

- свои глазки закрою я; их

потру

кулачками; и возникнет в закрытых глазам моих центр -

- желто-

лиловый,

бьющийся, светлый! -

- и трепеты молний, из центра летящих

спиралями и

исходящих мне точками блесков, дробимых метаморфозами

красноречивейших

светочей.

Желто-лиловый центр - счастье; а светопись молний - мои  
дорогие

надежды; образуют мне - светлую ризу под веками; я потру кулачками  
глаза; и

светлая риза колеблется; по ней катятся звездочки и развивают хвосты  
светлых

блесков - вокруг лилового центра; и из светочей вылагаются: образы и  
подобия

комнат; это - комнаты космоса; это - таимые комнаты; это -  
церковь,

перенесенная мне под веки; папа там на мгновение возникает;

перебегает мне

комнаты: кивает, как память о чем-то; и образует проход - в  
иной мир:

желто-лиловый центр мчится навстречу мне, раздвигается в синий глаз;  
синий

глаз - добрый глаз: он моргает ресницами блесков, он -  
ширится; и  
громчайшим синим кругом несется навстречу; мгновение: -  
- я бросаюсь  
туда, в  
эти звенья летящих спиралей и в ритм пульса блесков (мой  
собственный), где я  
-  
- был до рождения!..  
Мгновение - я забылся: и с открытыми глазками протянул свои  
ручки  
навстречу: -  
- из-под моргающих вен улетел космос света; и -  
васильковая  
комната передо мною: все та же,

"Сколько надежд дорогих,  
"Сколько счастья!.."

Блески - счастье: они - дорогие надежды; и синий глаз - добрый  
глаз! -  
небо; и небо люблю я; люблю лучики; миллионами светлых пылинок  
клокочут они;  
я тянусь к ним: их взять моей ручкой; и - свободно проходит рука в  
ясном  
блеске пылинок; огоньки свечей и, главным образом, мамины алмазные  
серьги  
вызывают воспоминанье во мне: моих замкнутых глаз и под веками  
светлого  
желто-лилового центра, бьющего блеском молний и открывающего мне  
проход -  
- в  
иной мир.  
. . . . .  
Синий глаз узнаю я и после: он - глаз в треугольнике; этот  
глаз - в  
церкви Тихона-на-Тупичках - видел я.

#### САМОСОЗНАНИЕ

Самосознание этих мигнов - отчетливо: -  
- самосознание: пульс;  
мыслю  
пульсом без слова; слова бьются в пульсы; и каждое слово я должен  
расплавить  
- в текучесть движений: в жестикуляцию, в мимику; понимание - мимика  
мне; и  
трепет мысли моей: -  
- есть ритмический танец; неизвестное слово  
осмысленно в  
воспоминании его жеста; жест - во мне; и к словам подбираю я  
жесты; из  
жестов построен мне мир; передо мной пробегают слова: папы, мамы,  
Дуняши,  
профессора, которого я запомнил в то время (он - в желтом)  
и слова  
напечатаны на душе мне неведомым гиероглифом: -  
- и смысл звуков  
слова  
дробится -  
- душою моею, -  
- и понимание мира не слито со словом о  
мире; и

безболезненно гонится смысл любого словесного взятия; и понятие прорастает мне многообразием передо мною гонимых значений, как... жезл Аарона; гонит, катит значенья; переменяет значенья...

Объяснение - воспоминанье созвучий; пониманье - их танец; образование -

умение летать на словах; созвучие слова - сирена: -  
- поражает звук слова

"Кре-мль": "Кре-мль" - что такое? Уж "крем-брюлэ" мной откушан; он - сладкий.; подали его в виде формочки - выступами; в булочной Савостьянова

показали мне "Кремль": это - выступцы леденцовых, розовых башен; и мне ясно,

что -  
- "к\_р\_е" - крепость выступцев (к\_р\_е-мля, к\_р\_е-ма, к\_р\_е-пости), а: -

м, м\_л\_ь - мягкость, сладость: и потом уже из окошка черного хода (ведущего в кухню), где по утрам водовоз быстроливым ведром наполняет нам бочку, -

показали мне: на голубой дали неба - кремлевские башенки: розоватые, крепкие,

сладкие: -  
- эти башенки - животечные звуки слов, восстающие подкидной линией

красок; и - самоглавым собором; линии - беги ритмов, цветущих мне

сонно-знакомую мимикой, -  
- свои глазки закрой; и - потри кулачки:

животечная светопись молний из лилово-желтого центра - летает,

блистает; центра пульсирует молньями: -  
- животечная

светопись молний - слова; а пульсация - смыслы; животечная светопись слов гонит в сон;

гонит в комнаты смысла: -  
- понятие (душевное взятие слова) есть

светопись дробимого ритма; она ветвится, как древо; и возжигается блеском образов,

точно свечек на елочке; но ритм пульса блесков - мой собственный, бьющий в

стране танца ритма и отражаемый образом, как п\_а\_м\_я\_т\_ь о п\_а\_м\_я\_т\_и.

И впечатления слов - воспоминания мне.

#### ВАЛЕРИАН ВАЛЕРИАНОВИЧ БЛЕЩЕНСКИЙ СГОРАЕТ ОТ ПЬЯНСТВА

- "Валериан Валерианович Блещенский..."

- "Что такое?"

- "Сгорает от пьянства".

И Валериан Валерианович Блещенский встает передо мною: черноусый, в

мундире со шпагою, и - в треуголке с плюмажем - в огнях; звенья ярких

спиралей трескучего пламени возжигают в нем блески; Валериан Валерианович

Блещенский дробится огнем светлых дымов и уж гонится он -

метаморфозами  
дымных пеплов на небе; или он прогоняется мне под веки (кулачком  
потру я  
глаза) и там крутится он на фонтанных огнистых хвостах, в пьянстве  
светов, в  
метаморфозах красноречивого блеска: его - нет; он сторел; мир  
сторит от  
огня; светопреставление - гибель вселенной в пламенных ураганах  
на нас  
летающего ока; Валериан Валерианович - мне уже представился в свете:  
сторел в  
беге блесков.

От него остался лишь пепел.

И вот снова звонится к нам Валериан Валерианович Блещенский, как  
ни в  
чем не бывало.

Валериан Валерианович все равно что полено: деревянная  
кукла он;

деревянная кукла в окне парикмахера Пашкова мне известна: она  
похожа на

Блещенского; Блещенских продают саженьями; и потом их сжигают;  
Поликсена

Борисовна Блещенская покупает себе Валериан Валериановичей  
саженьями; и

постепенно сжигает их: одного за другим.

И пока один из них к нам заходит с визитом, другой уже -

растрещался в  
камине в спиральях летающего пламени и выгоняется метаморфозами  
дымов под  
небо: сторает от пьянства.

Объяснение - возжение блесков; понимание - свет под веками; и  
Валериан

Валерианович Блещенский возникает в глазах из желто-лилового  
центра

спиральями молний.

#### МАМОЧКА ЕДЕТ НА ВАЛ

Моя милая мамочка - молодая; и - ходит себе именинницей; а  
бледноустая  
тетя Дотя разводит... грустины и праздноглазо уставится в мамочку:  
мамочка

скажет ей:

- "И в кого ты такая".

Щечки мамины - полнокровный, розовый мрамор; и твердые  
руки - в

трещащих браслетах: с Поликсеной Борисовной Блещенской, в  
великолепной

карете, поедет - на предводительский бал: веера, сюра, ткули! в  
мочках ушек

алмазные, мелкогранные серьги слезятся перебегающим пламенем;  
мамочка - в

бальном, бархатном платье, к опопонаксовом воздухе, из нежно-кремовых  
кружев

Склонила свою завитую головку и веющим веером: на меня гонит холод...

Тетя Дотя разводит кислятину; старая бабушка курит  
опопонаксом; из

пульверизатора вылетает струя; из пульверизатора прытко прыщутся  
шипры; и

этими смесями душится мамочка; завитые валиком волоса -

- пуф-пуф-пуф!

-  
покрывает пудрой пуховка: двенадцатисвечие - в зеркалах (по четыре  
свечи - в  
трех углах: по четыре свечи в зеркалах!). Зажмешь глазки;  
текучая  
светопись самородного блеска уже закачалась в закрытых ресницах: -  
-  
и мне  
кажется: -  
- мамочка, в великолепной карете, от нас проедет под аркою:  
в иной  
мир и в светлые сферы мазурок, где Миловзорпков в  
малиновом  
ментике гремит ясной шпорой, а красногрудый гвардеец,  
Гринев,  
гордо выпятил грудь, где, раскинувши в воздухе фалды  
фрака,  
двубакий Азаринов завивает вальс в белом блеске колонн; и  
неслышно  
несутся за ним - на легчайших спиралях...  
И Поликсена Борисовна Блещенская позвонила... за мамочкой;  
мамочка в  
ротонде проходит; карета несется по улицам; за каретой ряды  
огней: ряды  
убегающих дней - в рой теней; -  
- людоедное время хоронится там, в  
туманных  
роях; людоедное время погонится на черных конях...  
. . . . .  
Мамины впечатления бала во мне вызывают: трепетания тающих  
танцев; и  
мне во сне ведомых; это - та страна, где на веющих вальсах носился я  
в белом  
блеске колонн; и память о блещущем бале - одолевает меня: свет\* лая  
сфера не  
нашей, за нами стоящей вселенной, где... -  
- раскинувши в воздухе  
фалды  
фрака, вьет вальсы Азаринов, где красногрудый гвардеец  
Гринев  
гордо выпятил грудь в белом блеске колонн, где Владимир  
Андреевич  
Долгорукий... -  
- блещущие существа посещают нас и  
смещают мне  
представления: драгун, дракон - то же; появился однажды он: в  
розово-рдяных  
рейтузах; я все трепетно ждал: вот он будет из уст нам выкидывать  
пламень;  
но этого не случилось,,, И был - Глянценродэ (огромная шапка с  
султаном!):  
носолобий, запутанный в серебро; впечатление блещущих эполет  
было мне  
впечатлением: трепещущих танцев; и потянулся я все к  
колесикам шпор;  
воспоминание это мне - музыка сферы, страны -  
- где я жил до рождения!

#### ПАПА

Быстроглазый мой папа: приземистый, головастый, очкастый;  
множит нам  
толчею; и - угоняет нам смыслы.

Распахивает столовую дверь; и оттуда он смотрит, как...  
память о  
памяти; п\_а\_м\_я\_т\_ь о п\_а\_м\_я\_т\_и такова: она - проход в иной мир;  
и папа  
вторгается из проходов поговорить, пожить с нами; и образуется - что  
бы ни  
было; образования - строи; папа - строит нам строи мыслей,  
приподымая при  
этом очки и вперяся добродушно на нас; это он - учит мамочку:  
- "Математика - гармония сферы... Риза мира колеблется строем  
строгих  
законов: по ней катятся звезды... От ближайшей звезды лучевой  
пучок  
пробегает к нам, знаешь, три года..."  
В очках дрожит солнышко; я - закрываю глаза; и - умножаются  
блески; и -  
светлая риза колеблется; пролетели все смыслы, а папа стоит, открыв  
дверь в  
кабинетик, оттуда он смотрит.  
И поплачу я за окно - в ясноглавое облачко.  
Вот, бывало, заря; вот - оконная рама; вот - я: бабушка, мама и  
я - мы  
живем своей жизнью; а папа врывается... из-за книжного шкафа; и -  
убегает  
обратно: к корешкам толстых томов, таящих в себе все какие-то  
гиероглифы: -  
-  
дифференциал, интеграл! -  
- я их знал: до рождения!  
- "Математика - гармония сфер..."  
А мы папу не слушаем; и нос уткнет в книгу он: вертит -  
чертит на  
листки звенья какой-то спирали; а войди к нему в комнату: он в  
распахнутом,  
пыльном халате целится в толстый томик: в него бьет пыльной тряпкой:  
моргает  
в закаты...  
Вижу я мамочкин взгляд, переведенный на папу.  
Бабушка оправляет косынку; мамочка оправляет наряд; мамочка моя,  
как...  
картинка; папин опущенный взгляд: папа у нас как бы... "так". Я -  
не рад,  
видя мамочкин взгляд, переведенный на папу: -  
- воспоминания облагают  
меня;  
это - не бывшее никогда; и точно - бывшее прежде; папа мне -  
существо иной  
жизни; ходит с согнутым томиком, и, махая рукой, ею черпает  
гармонию  
бесподобного космоса: -  
- папа мой - математик Летаев; и папа -  
мой папа:  
только мой, ничей иной; математик Летаев не может быть папою  
никому на  
земле; он - папа мне; и почему это так, что папа мой - математик  
Летаев?  
Разве я виноват?  
И поплачу я - за окно: в ясноглавое облако.  
. . . . .  
Знаю я: -  
- математику чистится сюртучок; и он, быстротечный,  
несется  
посиживать: -

- в Университет,  
- в Совет! -  
- если же математику не сидится на  
месте, то  
математик забродит; без толку и проку по кабинету - от книжной  
полки до  
полки; барабанит пальцами: по углу, по столу, по стене;  
прибормочет,  
пришепчет - приземистый, темноглавый, очкастый:  
- "Эн-эм два на це три!"  
Тарарах-тах-тах-тах!  
- "И по модулю шесть..."  
Тарарах-тах-тах-тах!  
И тонко очинённым карандашиком чертит-чертит на листиках.  
И что он набормочет, нашепчет, то - расскажет им всем:  
Василисимову,  
Притатаенке и Брабаго.  
Василисимов - "к\_о\_н\_г\_р\_у\_и\_р\_у\_е\_т".  
Серафима Гавриловна, с бабушкой и старой девою Верой  
Сергеевной  
Лавровой, на математиков собираются посмотреть: из гостиной; и  
разводят  
руками на них - из-за листьев лапчатой пальмы.  
- "Математики... Ученые... Головы..."  
- "Все у них там - свое..."  
- "Дифференцируют там они!"  
. . . . .  
А бывало, папа, прояснясь, наклонится великаньим лицом;  
и -  
ясновзорным, и - добрым, с растормошенными космами и устало  
раскосыми  
глазками; и уставится ими в душу; на заморщенный выпуклый лоб  
приподнявши  
блеск очков, осторожно положит мне ручку на свои большие ладони  
и из  
усатого-бородатого рта надувает тепло под рукавчик; и  
легкодышащим ртом  
что-то шепчет про небо:  
- "Оно - сфера: гармония бесподобного космоса - в нем: по нем  
катятся  
звезды законами небесной механики..."  
И чертит и вертит под носом моим карандашиком звенья  
спирали; и  
впечатлеет мне в душу; и точки моих впечатлений - дробятся; и  
риза мира  
колеблется.  
Наливное, безглазое облако - посмотрю - там проходит за окнами;  
своим  
пламенным ободом ополчинится в небо.

#### ПАССАЖ

Изредка берет меня мама.  
И на саночках, мимо саночек, пролетаем мы - в саночки: в белом  
шипне  
метелицы; из метелицы - в вьюгу; из переулков и улиц- переулками,  
улицами: в  
переулки и улицы.  
Переулки и улицы пролетают домами.  
И уже таинственно пахнет Поповский пассаж; и надо мною,  
пустой,  
раздается он гулками переходами сводов; зажигают лапчатый газ; в  
окнах

лоснятся ленты; малновсют материи; от окна - к окну: веера, скура, тюли.

Мы бежим прямо в дверь, и -

- приказчики принимаются -

- из

стены

выхватывать валики и кидаться ими в прилавок и, вертясь на руках, по

прилавку забьют -

- вам -

- вам-вам -

- волосистые валики,

разливая

б\_о\_р\_д\_о\_в\_о\_г\_о\_ц\_в\_е\_т\_а материи; и - на мамины руки! Мама щупает

добротность материи, а галантерейный приказчик над нею разводит руками; и

говорит ей:

- "Шан-жан!"

И уже накидаются желтые, плотно сжатые плитки; развернутся, раскроются;

и - ах! - все малина; развернутся, раскроются; и - ах! - все в шелках.

Мамочка залюбуется желто-красным атласом; из руки приказчика

остервенело лязгнули ножницы; закусались и прытко запрыгали по желто-красным

атласам: отхватить атласца и нам.

Мы выходим; мы - вышли; и - видим уже, что взлетел подкидной огонек;

что на улицах поредел людоеход; тихий месяц прорезался; чешется многогрудая

психа о трубу водостока: спиною; и - звездное небо выносятся - от зари до

зари, чтоб другое, беззвездное выгнать: от зари до зари.

Уже мы - к носорогой портнихе; черная, она выскочит каркнуть нам:

- "Ну, и атлас: ну, и вкус же у вас!"

Забодается длинным носом на маму... Мама все ей отдаст; и она убежит за

альков: раскромсать нам атлас.

Вновь на саночках, мимо" саночек, пролетаем мы в саночки; приморозило,

а - тепло мне под полостью; вздернешь голову вверх: иззвездилось все -

донельзя; неосыпное небо кипит, дрожит, дышит: переливается звездами!

- "Нет, нет, нет: ты - не папин, не - мамин... Ты - мой!.."

А Млечный Путь - приседает.

#### ЧЕТЫРЕХЛЕТИЕ

Четырехлетие перечертило жизнь надвое: я как бы пересыпался из эпохи в

эпоху -

- понимаю я пересыпь поколений - из эпохи в эпоху: за сквозным

людолетом времен проясняется явственно - ангел эпохи -

иная эпоха

мне светит: -

- будто ночь, мрачный бык, бодал стены

столовой;

блескородные диски кидались спасительно в окна; жизнь освещалась

моя: будто: -  
 - на вновь образованной суше приподнялся я  
 со дна  
 океанов, где виделись гады; но суша сознания простиралась: моря  
 отступали;  
 самовольные воздуха наполняли мне легкие; иногда начинало  
 душить: это -  
 трогались зараставшие жабры во мне древним ужасом; и  
 подымались -  
 гадливости; в миголетах времен начинал я дрожать, потопляемый  
 миголетами  
 времени; да, я плакал в пучинах: и -  
 - впоследствии, будучи уже  
 гимназистом,  
 прочел, что к Калигуле приходил... Океан; приход Океана  
 был ведом  
 мне в детстве: Океан и Титан - это прощупи прежних бездн -  
 -  
 (мне  
 впоследствии представлялся Титаном, огромным и грохотным,  
 Помпул)  
 -  
 - эти прощупи гонятся: стародавним Титаном.  
 Титан бежит сзади.  
 . . . . .  
 Между тем все менялось: сухо веяла в окна метельная пересыпь; а  
 потом:  
 рыхло стала носиться она, - омягчая дома в навеваемой снежини;  
 тепленело:  
 вставали туманы; закапало бисерным дождичком; после  
 дождиков -  
 гололедица-лединица блистает; и - хруст ледорогих сосуллек; и -  
 ломко, и -  
 скользко.  
 Уже нет снегопада; в сырых, в обливных деревьях - ветроплясы  
 стоят;  
 кудревато дымы выпрыгают из труб и расчесано низятся склоны их; уже  
 моют нам  
 стекла окон! и - запах замазки; стаканчики яда стоят; убирается  
 вата;  
 открыто окошко.  
 И грохотно.  
 Я внимательно изучаю дома: по косяковскому дому я знаю, что все  
 это -  
 тайны; может быть, в тех домах нет печей; может быть, там не водятся  
 п\_а\_п\_ы  
 и м\_а\_м\_ы, но д\_я\_д\_и и т\_е\_т\_и.  
 Перевивы орнаментов, надоконные арабески и полные каменных  
 виноградин  
 гирлянды - глядятся нам в окна; то - розовый дом Старикова; но вот  
 столб  
 желтой пыли взлетит с мостовой и окно - закрывают.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ОЩУПИ КОСМОСОВ

О, страшных песен сих не  
пой!..

Ф.

Тютчев

ВСЕЛЕННАЯ

Все смотрю я из окон: -

- примечательно мне говорят: жесты  
каменных,  
стенных, длинных линий, подающие кучами крыш оконченные трубы - под  
облако,  
которое вылагается в небо; на трубе сидит кот; к ней идет трубочист;  
с малой  
лесенкой, с гирями; грохотно скалится мостовая - внизу:  
крепким, белым  
булыжником; многогрохотно бредит она -  
- rrr... rrr... rrr... -  
- с  
колесом  
ломового, с пролеткой, - внизу из ущелий: в безмерностях переулков  
и улиц,  
ведущих в тупик - к мировой безоконной стене с водосточной трубой, в  
которой  
зияет жерло в никуда, и откуда в дождливые дни изольются небесные  
хляби;  
жерло ведет в бездну, около которой сидит рваный нищий и указывает на  
страшную  
свою язву; песик тоже почешет о край водосточной трубы, о дыру,  
безволосую  
спину свою; и - скулит там: над бездной.  
Тротуары, асфальты, паркеты, брандмауэры, тупики - образуют  
огромную  
кучу; эта куча есть мир; и его называют "М\_о\_с\_к\_в\_а"; на  
асфальтах,  
паркетах, брандмауэрах повисает "М\_о\_с\_к\_в\_а" посредине пустого,  
огромного  
шара; в этом шаре живем мы; он - небо; открываются форточки в  
нем; и -  
пропускается воздух; этим делом заведует: пристав Пречистенской  
части,  
проживающий в каланче и оттуда нас извещающий приподнятым шаром,  
что он  
бодрствует и что "м\_и\_р" беспрепятственно повисает. Окончание нашей  
квартиры  
- глухая стена; если в ней пробить брешь, то небесные хляби -  
хлынут; и  
будут потопа; по булыжникам будут пениться белогривые волны; и  
"М\_о\_с\_к\_в\_а"  
переполнится, как... водовозная бочка.  
Между тем, за глухую стеною, вне мира, давно проживает -  
сосед:  
Христофор Христофорович Помпул; непосредственно за стеной тяжело  
повисает во  
мрак - его письменный стол; и четыре колесика кресла блистают - в  
ничто; в  
нем-то вот воссел Помпул, с огромнейшей книжищей; и колотится ея -  
нам в  
стену; полосатый живот из-за кресельных ручек урчит и громами, и  
брдами; в  
животе - блеск огней; будут дни - разорвется он, в стену ударит  
осколками;  
образуется черная брешь: в нее хлынет потоп.

#### ПОМПУЛ

Христофор Христофорович Помпул - был совсем как... буфет, хоть и  
жил он  
вне мира, за нашей глухой стеною, он все же в "м\_и\_р" хаживал.  
Если бы хорошенько приплюснуть наш столовый желтый буфет, то  
середина

буфета бы вспучилась; было бы - набухание; было бы - круглотное  
брюхо  
буфета: в н\_и\_к\_у\_д\_а и н\_и\_ч\_т\_о; были бы уши рвущие грохоты  
посудных  
осколков в буфете; и был бы он - Помпулом.  
Говорилось у нас: собирает все какие-то д\_а\_н\_н\_ы\_е  
Помпул; за  
с\_т\_а\_т\_и\_с\_т\_и\_ч\_е\_с\_к\_и\_м д\_а\_н\_н\_ы\_м бросается в Лондон; и  
Л\_о\_н\_д\_о\_н, я  
знал, есть л\_а\_н\_д\_о (л\_а\_н\_д\_о видели мы на Арбате). И  
Христофор  
Христофорович Помпул в моем представлении целый день гнался в  
Лондоне за  
с\_т\_а\_т\_и\_с\_т\_и\_ч\_е\_с\_к\_и\_м д\_а\_н\_н\_ы\_м; то есть: целый он день,  
проезжая в  
л\_а\_н\_д\_о (его все-то обыскивал он), - с двумя желтыми баками; и -  
во всем  
п\_о\_л\_о\_с\_а\_т\_о\_м; п\_о\_л\_о\_с\_а\_т\_о\_е - думал я - и есть образ  
жизни: по  
с\_т\_а\_т\_и\_с\_т\_и\_ч\_е\_с\_к\_и\_м д\_а\_н\_н\_ы\_м.  
По ночам же он, наперекор всему, - заводился у нас за стеною:  
в\_н\_е  
м\_и\_р\_а... -  
- я впоследствии знал его комнату; я впоследствии  
понимал:  
заводился он среди очень громких предметов,  
безалаберно там  
возился; и вытаскивал переплетенные томы - огромнейшей  
библиотеки;  
погромыхивал, колотясь имя в полки, в столбе книжной  
пыли; мне  
казалось: кто-то там заживал; слышалось наступление  
дубостопного  
шага; из-за стены - в коридоре; чуялась: неотделенность  
стеною от  
шага; и стало быть: появление Помпула у постельки; и - с  
толстым  
томом в руке; думал я: вот идет теперь Помпул: -  
- и глухо  
бубукали  
звуки - из мировой пустоты: выбивал Помпул пыль; и от этого  
дубостопный  
буфет начинал будоражиться.

ЛОМАЕТ ПРОЛЕТКИ

Мы однажды весной шли гулять: было страшно. Над нами слезал  
тихолазный  
толстяк -  
- "Беда: это - Помпул".  
Христофор Христофорович переламявал оси пролетов:  
подстережет он  
извозчика и бросается на него - прямо в Лондон: ось - лопнет;  
извозчик -  
ругается; я, увидевши Помпула, сзади стучащего желтой палкой, все-то  
думаю о  
извозчике Прохоре - о лихаче; мне хочется выбежать: перед Помпулом  
хлопнуть  
дверью; и - раскричаться на улице:  
- "Беда...  
- "Помпул сходит...  
- "Спасайтесь, извозчики!.."  
Извозчики от него - врассыпную, бывало; где проходит по улице  
Христофор

Христофорович, стуча желтой палкой о тумбы, - там пусто: ни одной пролетки  
уж нет; а за углами их - кучи; они ожидают; желтокосмый там Помпул пройдет;

с грохотом после этого они вкатятся снова на белые крепкие камни.

- "С нами, барин!"

- "Пожалуйста..."

Выкинется, бывало, пролетка - из-за угла, невзначай; и уже несется она

в глубину Арбата - от Помпула.

Христофор Христофорович это знал; и, притаившись на корточках за стеной

переулка, - пыхтел он ужасно; и отирал себе пот с крепкокостого лба

полосатым платком; и вот - едет пролеточка: Помпул, уже увидев ее, задрожит;

и подкрадется на карачках к углу перекрестка, чтоб прыгнуть в нее невероятно

огромным прыжком: полосатым своим животом; и тогда-то вот, на переломленной

оси, катается в "Л\_о\_н\_д\_о\_н\_е" Помпул; и собирает в нем "д\_а\_н\_н\_ы\_е".

. . . . .

- "Да - вот, знаете: Христофор Христофорович-то - ломает пролетки..." -

- доканчивал папа свою небылицу (смутно помнится это), лукаво смеясь и

блистая очками; я - верю; а мама - рассердится: небылицы не любит она.

Папа скажет ей:

- "Врать ты мне не мешай: а не любо - не слушай..."

#### ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Смутно помнится: папины небылицы выслушивал - Лев Толстой их любил.

Лев Толстой - кто такой?

Я не знал, что такое - т\_о\_л\_с\_т\_о\_е (или, что ли, -

т\_о\_л\_с\_т\_о\_в\_с\_т\_в\_о): ну, там, - звание, как звание архиерея, попа,

математика; и где водятся архиереи, там есть и т\_о\_л\_с\_т\_ы\_е; так бы я

ответил тогда на неуместнейший вопрос о Толстом; если бы в это время я знал,

что университетские города существуют повсюду, то я бы ответил, что на город

приходится: по математику, губернатору, архиерею и... Льву Толстому;

впрочем, я знал один город (о нем говорилось, что мы туда едем) ; и этот

город есть "Клин".

Всякий город есть "К\_л\_и\_н"...

. . . . .

Видывал в это время и я - одного Льва Толстого: он пришел к папе в

гости; сидел в красном кресле; ввели меня и сказали:

- "Вот - Лев Николаевич..."

Я его не запомнил. Он брал меня на руки: но запомнились очень ярко:

пылинка на серых толстовских коленях; и огромная борода, щекотавшая лобик

мне.

Эти бороды, думал я, верно, львиные гривы "Т\_о\_л\_с\_т\_ы\_х"; и я думал: о  
небылицах, об оси пролетов, о Помпуле, о костромском мужике и о пророке

Магди; про "мужика" и "Магди" - это папа рассказывал: всем московским

извозчикам; и гремело папино имя в городских ночных чайных; извозчики,

собираясь туда, передавали рассказы о "м\_у\_ж\_и\_к\_е" и "М\_а\_г\_д\_и"...

. . . . .

Помню после уже: из метели выносятся саночки; в саночках папа несется -

в огромной енотовой шубе; и из нее торчит - меховой колпак шапки, очки, два

уса; прижимая к груди свой портфель полуразорванным меховым рукавом,

заливается смехом мой папа - грохочет извозчик:

- "А костромской-то мужик?"...

- "Хе-хе-хе-с..."

И - уносятся саночки.

. . . . .

Я однажды встретил извозчика (тому назад - шесть-семь лет); это был

сутуленький старикашка, который узнал меня:

- "Как не помнить вас: были вы Котенькой-с..."

- "Как же-с: барина-батюшку помню... Хе-хе-с... Михаил

Васильевич-с..."

Шутники-с... Ему скажешь, бывало: на Моховую на улицу... А они-то, бывало,

расскажут! о мужике да о черте.

- "Не гнушались простым человеком... Бывало: стараются..."

- "Вечная память им".

#### ПРОФЕССОРА

Подозрительно я встречаю гостей - профессоров и директоров казенных

гимназий, потому что я знаю про них: -

- все они - У\_к\_р\_а\_ш\_е\_н\_и\_я;

и потом

еще: все они - и\_з\_в\_а\_я\_н\_и\_я; они украшают

И\_м\_п\_е\_р\_и\_ю: это

слышал я от тети Доти и бабушки; а о том, что они

крепколобы, я

слышал от дяди Ерша: бьются лбами о стены они; и все

прочие мне

говорят, что "п\_р\_о\_ф\_е\_с\_с\_о\_р" - м\_а\_с\_т\_и\_т\_о\_с\_т\_ь -

то есть

то, чем м\_о\_с\_т\_я\_т; и у меня слагается образ -

- "И\_м\_п\_е\_р\_и\_и",

то есть

какого-то учреждения вроде К\_а\_з\_е\_н\_н\_о\_г\_о Д\_о\_м\_а: колоннады или - ну,

там, карниза, подпертого теменем, очень крепким; становится ясным: профессор

-

- приходит с карниза. -

- И меня уже грызут мысли: о ненормальности

телесного

состава "профессора"; невыразимости, небывалости лежания сознания в теле

профессора ведь должны быть ужасны; ведь он весь к\_а\_к\_о\_е\_т\_о - т\_о, д\_а

н\_е т\_о; я со страхом, бывало, все вглядываюсь в их бескровные,  
мрачные  
лица; да, их лбы - тяжелы, бледнокаменны; их стопы - тяжкокаменны;  
голоса -  
скрип кирки о булыжник...  
Профессора и "доценты" -  
их (со - бывало, сойдется к нам славная стая  
всех московских карнизов); и рассядется: в красных  
креслах  
гостиной: горластые дымогоры взлетают -  
креслу, - ударяя пальцем по  
бывало, плетет Грохотунко - изветы: и ветви изветов -  
пойму; и - - а я не  
дрожу -  
от бессмыслицы громких слов и таимого  
ужаса  
"п\_р\_о\_ф\_е\_с\_с\_о\_р\_с\_к\_о\_й\_ж\_и\_з\_н\_и"; и старинные бреды подымутся: -  
сам  
"профессор" есть прощупь в иную вселенную, где еще все расплавлено  
и куда  
профессор несет свои бреды; в них носится, как, бывало,  
носилась  
с\_т\_а\_р\_у\_х\_а; с\_т\_а\_р\_у\_х\_а - жена его; моя крестная мать,  
Малиновская,  
есть с\_т\_а\_р\_у\_х\_а - п\_р\_о\_ф\_е\_с\_с\_о\_р\_ш\_а. Очень часто профессор -  
старик.  
. . . . .  
Стариков и старух я боюсь.

#### БРАБАГО

И когда к нам звонится, кряхтя, головастый Брабаго, то боюсь я  
Брабаго;  
Брабаго ощупывал взглядом; щипался глазами; свинцовая боль  
подымалась в  
виске...  
Голос Брабаго ужасен: грохотом головастых булыжников  
разбивался нам  
громкий брабажинский голос; и всякие "а\_б\_р\_ы", "к\_а\_д\_а\_б\_р\_ы",  
бывало, как  
камни, слетали из кровогубого рта; разбивали толк в толоки; и  
толокли  
толчею.  
Папа мой, бывало, не выдержит, задрожит и подскочит:  
- "Как же вы это, мой батюшка: ведь это все только громкие  
фразы".  
А Брабаго каменно принависнет над креслом, да на меня,  
притихшего в  
ужасе, он уставится красным ртом; и - о\_ч\_е\_н\_ь\_з\_л\_ы\_м\_и  
г\_л\_а\_з\_а\_м\_и; и  
лицо его наливаается кровью, точно зоб индюка; и я - тихий мальчик -  
бегу:  
прямо к Раисе Ивановне, на колени: -  
колени; - и плачу, и прячу - головку, в  
все - душит; все - давит; кудри мои беспокойными змеями  
покрывают мне  
плечики; все-то кажется мне, что Брабаго там лезет; подпалзывает;  
припадает  
ко мне; и мне рушится в спину: -

карбункулов  
распадается мрак.  
Посылают за доктором.  
. . . . .  
Раз я его подсмотрел: -  
- как он, описывая спиной дугу,  
прилобился под  
тяжкогрузным карнизом кирпично-красного дома - в Криво-Борисовском  
тупичке:  
неподалеку от домика Серафимы Гавриловны, куда мы ходили с Раисой  
Ивановной;  
он, Брабаго, одною рукою поддерживал грузы; другою он рукою  
сжимал -  
опрокинутый каменный светоч и, описывая спиной дугу, собирался  
обрушиться на  
меня кирпично-красным карнизом; протянулась его белая голова с будто  
жующим  
ртом и с пустыми глазами; и - смотрела мне вслед глухою, особою,  
стародавнюю  
жизнью.

#### ДОМ КОСЯКОВА

Впечатления - записи Вечности.  
Если б я мог связать воедино в то время мои представления о  
мире, то  
получилась бы космогония.  
Вот она: -  
- Дом Косякова, мой папа и все, что ни есть, Львы  
Толстые -  
мне кажутся вечными: -  
- все, крутятся, пролетает во мгле, но  
не дом  
Косякова: -  
- до Арарата он встал из трепещущих хлябей;  
кусочек  
Арбата - за ним.  
Папа мой переезжает немедленно: в н\_о\_м\_е\_р одиннадцать; что-  
то там  
образует и пишет; между тем: образуются облака, образуются тротуары;  
мостят  
мостовую; с дальней крыши пожарные Пречистенской части поднимают  
огромное  
Солнце; и законами пучинного пульса с Дорогомилова пристаёт к нам  
Ковчег; и  
из него, из Ковчега, -  
- с грохотом выгружается: Помпул; и - что бы и  
в было;  
Помпула тащит дворник, Антон, в н\_о\_м\_е\_р д\_е\_с\_я\_т\_ь, в квартиру,  
соседнюю  
с нами; и она же есть - мировое ничто; и бубукает Помпул; и  
м\_и\_р\_о\_в\_о\_е  
н\_и\_ч\_т\_о обставляет б\_у\_б\_у\_к\_а\_м\_и он; в него с лестницы  
ведет двери  
золотая дощечка на ней: "Христофор Христофорович Помпул"; дощечка  
глядит,  
точно память о времени д\_о\_п\_о\_т\_о\_п\_н\_о\_г\_о б\_ы\_т\_и\_я, откуда  
втащили к нам  
Помпула... -  
- папа мгновенно по этому поводу покупает: дубостопный  
буфет;  
Помпул бьется к нам в стену: буфет громыкает посудой...  
. . . . .

А по Арбату уже: -  
- в серой войлочной шляпе и в валенках  
пробегают в  
Хамовники... Лев Толстой; и там раздробляется он в  
"т\_о\_л\_с\_т\_о\_в\_с\_т\_в\_о"  
законами пучинного пульса; и о "толстовцах" мы слышим; "толстовцы"  
бывают у  
нас; а смысл колобродит: метаморфозами образов} метаморфоза  
проносится пылью  
по улицам; и возжигается: блеск объяснений над ней, потому что -  
- в  
то самое  
время с чердака выпускается на зеленую крышу луна: струит блеск над  
блеском;  
и над фонарными огоньками несутся сияния; - и умножаются блески  
катимой  
луною) луна, описав дугу, падает -  
- под тротуары: за парфюмерным  
магазином  
"Безбардис".  
. . . . .  
Папа все это создал, бац-бац - быстро хлопает дверь допотопного  
дома; и  
-  
- папа мой с мировой историей многосмысленно утекает из  
косяковского дома:  
-  
- в Университет,  
- в Совет,  
- в Клуб! -  
- Наполеоны, Людовики, Киро-Ксерксы и гунны пролетками  
громыхают за  
ним:  
- "Со мной, барин".  
И - угоняется смысл: на нем Помпул сидит, оповещая Арбат  
дребежжащей  
рессорой, что он видит д\_а\_н\_н\_о\_е: видит д\_а\_н\_н\_о\_е мне  
представленье о  
мире.  
Оно - несколько фантастично: что делать.  
Так я видел действительность.  
. . . . .  
Нет уже Льва Толстого. И нет академика Помпула; Третий  
Филиппович  
Повалихинский заседает в Верхней Палате, благополучно  
избавившись от  
тевтонского плена (по последним известиям, он скончался: мир праху  
его!);  
над могильным крестом двенадцатилетие падают снежинки на надпись: -  
-  
Михаил  
Васильевич Летаев -  
- мировая брань не окончена; рушатся в громе  
пушек  
соборы; и утонул Китченер; риза мира колеблется: скоро попадают  
звезды... -  
-  
Не падает дом Косякова; он все так же стоит; и - кусочек Арбата  
пред ним.  
Рухни он, - все исчезнет.

Описанное - не сознание, а - ошупи: космосов; за мною гонятся  
прощупи  
по веренице из лет: стародавним титаном: титан бежит сзади.  
Нагонит и сдавит.  
В детстве он проливался в меня; и я ширился от моих младенческих  
въятий  
- титана.  
Но ошупи космоса медленно преодолевались мною; и ряды  
моих  
"в\_ъ\_я\_т\_и\_й" мне стали: рядами понятий; понятие - щит от титана;  
оно - в  
бредах остров: в бестолочь разбиваются бреды; и из толока - толчеи  
- мне  
слагается: толк.  
Толкования - толки - ямою мне вдавили под землю мои стародавние  
бреды:  
над раскаленную бездною их оплотневала мне суша: долго еще  
среди нее  
натыкался я иногда: на старинную яму; и из нее выгребали какую-то  
нечисть; и  
ужас вил гнезда в ней; с годами она зарастала; глухонемой  
бессонницей  
тяготила мне память она. Тяготит и теперь.  
Миг, комната, улица, происшествие, деревня и время года,  
Россия,  
история, мир - лестница моих расширений; по ступеням ее восхожу: это  
- рост;  
я - расту; и иногда себя вижу повернутым и склонившимся в ошупи,  
шелестящие,  
как - дрожащее дерево, - о прошлом.  
Об утрате старых громад повествует мне ветер - в сумерки, из  
трубы; и  
прощаюсь со старою былью: о рухнувшем космосе... Громыкает, а  
папа  
склоняется; и, склонялся, шепчет мне:  
- "Гром - скопление электричества".  
А над крышами в окна восходит огромная черная туча; тучею  
набегает -  
т\_и\_т\_а\_н; тихий мальчик, я - плачу: мне страшно.  
. . . . .  
Я внимательно изучаю дома; и московская улица - передо мной  
возникает  
стенами; и - орнаментной лепкою!  
Перевивы орнаментов, арабески, вазы, полные камейных  
виноградин;  
гирляндой опутанный бородач на меня вперяет свои две пустые дыры;  
я его  
узнаю: это он, Дорионов; из раскаленного состояния он перешел в  
состояние  
каменное; он томится теперь, прислонясь к углу дома, поддержкой  
карниза; как  
бы он не соскочил и, потрясая лепною плодовой гирляндой, как бы не  
принялся  
он оттопатывать по крепкозвучным булыжникам, поспешая к портному  
Лентяеву:  
себе шить сюртучок.

## ГИБЕЛЬ

С вечера громычал Христофор Христофорович Помпул за нашей  
стеною: так  
еще он никогда не гремел; да, все - рушилось; сверкания  
начинали

подбрасывать ночь: грохотали пожары; казалось: в страшных тресках разрушились тротуары и крыши; и - осыпались дома; хляби хлынул в окна: думал я - за стеною, как бомба, разорвался тресками Помпул, - пробивая в стене нам огромные дыры.

Вселенная кончилась: тьма. Ничего я не помню.

. . . . .

Вскоре помню опять: гроыхало и рушилось; сверкания начинали подбрасывать ночь и освещались не стены, а - обступившие толпы Мавров, взвизгивающих очень строго из разлетевшихся складок одежд.

. . . . .

Утром вижу я; - толпы Мавров - очень многие темнородные пятна

перепиленных суков на деревянных стенах неизвестной мне комнаты; мне к постельке склонилось молоденькое лицо с завитыми кудрями; и говорит, с ясным смехом, что уже мы в деревне, в Касьянове.

Молодое лицо с завитыми кудрями - Раиса Ивановна. Помолодела она.

. . . . .

"Мир", Москва, переулки распались; и чернородные, жирные земли простерты повсюду; рухнула мировая, глухая стена; и показались за прудом, куда все провалилось, - проглядные дали.

. . . . .

Воспоминание об утрате громад меня давит: повествует ветер в полях мне о рухнувшем космосе: "Городе"; в облачной стае башен плывет этот "город"; тени поля - прошлым: о Москве, о стене, что-то такое пытаюсь припомнить; не помню; и - мучаюсь.

## ГРУСТЬ

Небывалая грусть охватила меня. Отступило мне все и ушло в кущу листьев: предметы, события, люди; даже - папа и мама.

В прежде бывшей вселенной, в "М\_о\_с\_к\_в\_е", -  
- вспоминаю я, -

мое "я"

было связано с лабиринтами комнат; и комнаты мне менялись мгновенно: от моих о них мнений; все обставшее связано с "я"; все предметы меняются: нянина

голова мне появится; я подумаю, что мне страшно; и - вот: -  
- вместо

няниной

головы блещет лампа; обои дымятся на стенах: пестреют мне образом; -

весело, и - уже: за стеною во тьме папа с мамой веселятся кадрилями; грустно

мне, и - уже: чернородная девка, Ардаша, выходит из-под полу...

Это все - отвалилось: все события и предметы от мысли всей отвалились;

действия мысли в предметах, метаморфоза предметов при моей о них мысли - все  
 теперь это кончилось: весело - за стеною уже папа с мамой не веселятся  
 кадрилими; грустно - и девка Ардаша не вылезает из-под полу.  
 Все лежит вне меня: копошится, живет, - вне меня и оно - непонятно.  
 "Курица"... это... это... какое-то: гребенчато-пернатое, клохчет,  
 клюется, топорщится; не меняется от моих состояний сознаний; непроницаема  
 "курица"; вместе о тем мне она совершенно отчетлива; и - блистательно мне  
 ясна в непонятностях своей р\_а\_с\_т\_о\_п\_о\_р\_щ\_е\_н\_н\_о\_й, к\_л\_ю\_в\_н\_о\_й жизни.  
 Вот он "я"... А вот - "муха",  
 И она меня мучает.  
 Все, что ширилось, распирало меня, вне меня вылипаясь с\_т\_е\_н\_о\_ю:  
 ужасно распалось, разъялось на части} омертвенело землей, испаряющей вечером  
 пар над душистыми травами; и - побегало по небу: обелоглавило небо; -  
 - облака бегут на громах и на молниях, а дни - на ночи:  
 повторяют себя  
 на - ночи; -  
 - светлорогий пастух зовет рогом меня; черный бык - ночь - мычит на  
 меня...  
 . . . . .  
 По вечерам, над столом, под открытым окном: мы сидим; и - молчим:  
 краснобрюхий комарик с размаху ударится в лампу из мрачного парка; вдруг  
 омомлится все; посребреют глазастые окна; посмотрят, закроются; проговорят  
 перекатные грома; и это все непонятно.  
 Пролетка проехала?  
 . . . . .  
 Где Москва?  
 Развалилась она: никогда не увижу ее,

В КАСЬЯНОВЕ

Я смотрю: и я думаю.  
 Передо мною на столике молочко: в круглой глиняной крынке; и - два яйца  
 всмятку; а я, тихий мальчик, прислушиваюсь: -  
 - об утрате старых  
 громад  
 повествует мне ветер: о рухнувшем космосе (грозами рушатся  
 космосы; и, восставая над липами, набегают Титаны на нас -  
 бородатыми тучами) -  
 - передо мною на столике молочко:  
 и оно -  
 белотечно; и повествует мне ветер о рухнувшем -  
 - где-то близко за  
 окнами... -  
 - Все-то воздуха веяли; где-то близко за окнами:  
 самозвучные кущи  
 кипели: то липы; и - лето ходило по липам; и рушились космосы:  
 липовых

листьев; и чащи кипели листьями; и сочноствольный лесок кипел  
тоже...

. . . . .

С террасы ведут на дорожку: четыре ступеньки; направо, налево -  
трава;

ты сойди - потеряешь себя; и открыта глубокая яма; она -  
зарастает;

глухонемой тоской тяготит; в яме - страшно; там курица... -  
- Миг,

комната,

происшествие, город - четыре ступеньки, мной пройденных; я  
взошел

на них; и расширился мир мне деревней; и вместо стен мне  
открыты:

проглядные дали...

#### КУРИЦА

Вспоминаю себя я, сходящим с террасы: над шелестящими травами;  
колкие

ощупи трав припадают к лицу; самоводный лужок ходит травами; а  
перелеты их

лоснятся: прохожу я - в старинную яму; цветок одуванчика,  
сорванный,

огорчает мне ротик; тяжелые зной напали; порхает невнятица  
листьев;

бессмысленно - все; я уставился -

- в курицу:

- "Здравствуй..."

- "Ты..."

- "Курица..."

. . . . .

А белоглазая курица клювом уставилась в стену; и - клюнула:  
мухи нет;

желторотые шарики побежали... Цыплята...

И я -

- вылезая из ямы; глухонемая тоска тяготит; я - себе на уме:  
да, я

знаю, что знаю: и - никому не скажу -

- как там -

- бегают... шарики.

И мне пусто, мне грустно... -

- склоняюсь головкой к кому-то - в  
колени,

вперяясь в пространства; невнятны пространства -

- (озерцо изморщинилось и издали синилось) ... -

- личико поднимаю (а оно все горит) и протянутой ручкою

тереблю я

Дуняшу.

- "Как там курица..."

- "В яме: ж\_и\_в\_е\_т..." "

Не понимают меня.

. . . . .

Вдруг горячим приливом, как матовым жемчугом, я согрет: меня  
поняли; и

- бархатисто тепло льется в грудь; Раису Ивановну, милую,  
которая меня

поняла, я люблю; и склонилась ко мне своим матовым личиком; и  
агатовым

взглядом зажгла: в моей груди тепло; поцеловала она: ничего -

- мы над ямой пройдем: еще раз - с ней; вдвоем; мы идем уже;  
курица

клохчет, бежит; уморительно убегают за нею все желтые шарики на  
тоненьких

лапочках - в травы: и приседаю я в травы; и - вот: белоглавый  
грибок:  
сыроежка; и - вот: мне сухая лепешка (проходит здесь стадо); над ней  
вьется  
муха; смеется Раиса Ивановна:  
- "Нет, не надо..."  
Сухую лепешку я трону.  
А Раиса Ивановна:  
- "Пфуй..."  
Подсыхали вокруг очень многие "пфуи"...  
. . . . .  
Тихо движемся в спящие чащи, в листы: за листы;! там -  
жердисто,  
нелисто; схватились колючие поросли - рогозистыми чащами; двигаюсь - в  
сонные  
сумерки, в него нецветные воды болота.

#### ВОДА

Там стучат жернова: -  
- и вода, зеленея, летит стекленеющим  
током; а  
воду дробящие камни прояснились лбами под нею: -  
- Так же  
вот: -  
- из  
меня, от меня улетит все-все-все, что когда-то мне было; за  
улетающим током  
душа улетает; а душу дробящие дали окрепли мне берегом;  
безобразное  
образовано: это - земли; а сонные образы - дымно-кипящие  
воды: вода,  
зеленея, летит стекленеющим током; а воду дробящие камни  
прояснились  
лбами.  
. . . . .  
У грустного пруда дохнуть я не смею: грустнею, немею... -  
-  
Сребрится  
изливами пруд: а из него на меня смотрит малюсенький мальчик;  
он - в  
платьце, с кружевом; беспокойные кудри упали на плечики: -  
- я  
таков на  
портрете, еще сохранившемся где-то; я - в платьце, в кружеве;  
кружево это  
помню: оно - бледно-кремовое; помню платьце я - из пунцового  
шелка... -  
-  
малюсенький мальчик, как я; все, что было, что есть и что будет,  
теперь  
между нами: изливы; изольется все.  
- "Эй, ты, маленький мальчик..."  
А маленький мальчик запрыгал на ряби: пропал; утекло - все, что  
было.  
Ничего и нет: ряби...  
Что же это такое, что есть?  
. . . . .  
Я, бывало, без мысли смотрю - в эту мутную глубину; и,  
бывало, без  
мысли смотрю -

- как из мутных глубин подтечет живородная рыбка; и -  
пустит  
пузырики; передернулась; нет ее: р\_я\_би... Дробится и прыгает  
маленький  
мальчик на ряби: -  
- Ах, рыбка его погубила: "Я" - маленький  
мальчик; меня,  
ах, меня погубила она.  
То, над чем я сижу, глубина: и она мне темна, и она мне мутна.  
. . . . .  
Дерево изветвится, излистится...  
Мне ветв\_я\_тся, мне л\_и\_стятся мысли...  
Что-то такое я думаю: но кишит бестолковица... Какая такая - не  
знаю...  
-  
- Вот он - "я"; вот он - пруд; пруд кишит головастиком, а  
сребреет  
изливами... -  
- изливается дума моя; и сребреет она предо мною; а не  
знаешь,  
что в ней.  
Может быть... - головастики?

#### ГРОЗЫ

Вставали огромные орды под небо; и безбородые головы там  
торчали над  
липами; среброглазыми молниями заморгали; обелоглавили небо;  
кричали  
громками; катали-кидали корявые клады с огромного кома: нам на голову.  
Это, спрятавшись в облако, облако рушили в липы - титаны; и  
подымали  
над дачами первозданные космосы: -  
- рухнувших городов и миров:  
улицы, дома,  
башни - а кремнели над ними; и грохотали пролетки... -  
-  
Каменистые  
кучи облак сшибая трескучими куполами над каменистыми кучами,  
восставал там  
Титан, весь опутанный молниями: да, там пучился мир; да, и в  
бестолочь  
разбивались там бреды; и - толклась толчея: -  
- складывался  
толковый и  
облачный ком в мигах молний, с туманными улицами,  
происшествиями,  
деревнями, Россией, историей мира; и мировая история  
разгрелась  
над парками; и Титан, поднимая ее, точно старую быль,  
на нас  
гнался, врезался грудью в кипящие кущи; уже проходил он  
по парку  
сквозь листья; под тяжелой стопой Титана дрожала земля... -  
-  
И я,  
тихий мальчик, увидев носимое - там, над нами, - бежал в темный угол;  
а папа  
бежал вслед за мною.  
И - принимался шептать:  
- "Это, видишь ли, Котенька, - гром...  
- "То есть это...  
- "Скопление электричества..."

Прощупи прежних лет шевелились во мне; бестолочь  
прежних лет  
громычала...  
. . . . .  
Помню раз: -  
- обезвоздушилось все; и - душило меня; все  
притихло;  
вдруг: -  
- заскрипели стволы; бурно хлынули главы; рванулись рои  
живолистных  
ветвей прямо в окна, треща и кидаясь суками; и - откачнулись назад;  
увидал  
там, в окошке, что Мрктич Аветович пробегает из чащи с распущенным  
зонтиком;  
утка хлопала крыльями; и крикливо сухой треснул звук: опустилась в  
кусты  
многолетняя ветвь; и - повисла на белом расщепе: -  
- белолобое  
облако  
подошло; белолобое облако хлопнуло частым градом: нам в стекла.  
. . . . .  
В этот вечер гуляли; блистали нам слякоти; все  
проглядные дали  
иссинились тучами; некудрые тучи замазались в небе; и - шлепало  
стадо на  
нас.  
Громкорогий пастух мне понятен: зовет за собою.  
. . . . .  
Снова молнилась ночь.  
Сверкания начинали подбрасывать ночь; глухонемая бессонница  
нападала, я  
просился к Раисе Ивановне: из постельки в постельку; и Раиса  
Ивановна  
поднялась: и босыми ногами она полусонно прошлепала - меня  
взять; я  
испуганно обнял ее; между белыми блесками падали темени; как  
рубашки,  
срывались с деревьев, зеленыя их в бесстыдную ясность; то  
пурпуровым, то  
фиолетовым лётom бросались от края до края летучие лопасти:  
каменистое тело  
Титана восстало; и над всем, там стояло...  
. . . . .  
С той поры начались неизливные дни.

#### КУПАНЬЕ

Побежали купаться: -  
- Раиса Ивановна, барышни, Нина  
Васильевна: с  
полотенцами, в сарафанах, по полю.  
Бегу и я с ними; а кругозорное небо над - полем, глядится;  
работники:  
в белотканых, вспотевших рубахах тут ходят по грядам душистого  
сена с  
огромными вилами; в воздухе сыплется сено сухое, шершавое;  
быстрый рог  
длинной вилы мелькает по воздуху; мы бежим, а мужик - обругался...  
Мы дальше: -  
- тропинкою - в ольхи: под гору; тихохолмные  
берега  
зашершавились мохом; сереют нам издали крышей недымной деревни;  
песком

прожелтился откос; и цветы, молочай, на нем... вот - и засыпалось издали, в  
 ольхи - все ближе; и вот - хлынуло холодом; над головой все рванулось; и -  
 ясновзорные просветы бросились на летучих листьях; и - рогатая веточка ходит  
 единственным листиком над живою рекою: купальня; - ту -  
 - я, Раиса  
 Ивановна,  
 барышни, Нина Васильевна Вербова! -  
 - и говорят, что наружу они  
 выплывать не  
 хотят; восьмиклассник Щербинин с подозрной трубой залег прямо в ольхи;  
 качается лодка; и переходные мостчки - гнутся; и - рыбка пускает пузырик;  
 тут в сухие дни - плесенеют круги; в водоливные дни - пузыри...  
 . . . . .  
 Купаются все. А меня посадили на лавочку. Поснимали свои сарафаны; и  
 снимали рубашки; и - длинноногие, белые, ходят: полощатся, мочатся; мне  
 отчего-то их стыдно; меня им не стыдно...  
 И, скрывая свой стыд, я кричу:  
 - "Ах, какие вы все..."

#### ВОСПОМИНАНИЯ О КАСЬЯНОВЕ

Воспоминания о Касьянове растворяют в себе воспоминания о людях, там  
 живших в то время; изумрудные кущи кипят: и туда, в эти кущи, уходят - мне  
 люди; бегаю к пруду я, где уходят стальные отливы под липы и ивы; и  
 трескает в лобик сухое крыло коромысла; а однорукая статуя встала из зелени  
 - стародавним лицом и щитом: на нас смотрит...  
 Под ней проповедует папе на лавочке, где ярко-красные розы, - Касьянов.  
 Папа с ним не согласен, кричит:  
 - "Я бы все эти речи..."  
 И на него замахнулся он в споре своим д\_у\_р\_а\_н\_д\_а\_л\_о\_м (корнистой  
 дубиной, с которой он ходит) -  
 - впоследствии мама сожгла дурандал -  
 потихоньку от папы; он в споре махал им; свою палку называл папа  
 мой д\_у\_р\_а\_н\_д\_а\_л\_о\_м, производя это слово от "дюрандаля" -  
 меча: (им сражался Роланд) -  
 - папа целыми днями, бывало, летает в  
 огромных аллеях, махая своим д\_у\_р\_а\_н\_д\_а\_л\_о\_м; это он возмущается: это  
 все - р\_а\_з\_л\_и\_ч\_и\_я\_у\_б\_е\_ж\_д\_е\_н\_и\_й; и натывается на Мрктича Аветовича;  
 Мрктич Аветович есть горбун в ярко-красное рубахе; Мрктич Аветович с папою  
 не согласен; припирая к стволу его, папа мой раскричится:  
 - "Позвольте же...  
 - "Нет-с...  
 - "Что такое вы говорите?...  
 - "Да вас бы я..." -

- Мрктич Аветович -

- много лет уж спустя

я читал

толстый том его: "Эра" -

- язвительно тыкает папу, блистая

зубами

под папой, огромной рукою - в живот:

- "Нет, а все-таки.,.

- "Все-таки..."

. . . . .

Мрктич Аветович часто, увидевши папу, стремительно убегает под липы;

приседая в кустах, ой оттуда краснеет горбами; это -  
р\_а\_з\_н\_о\_с\_т\_и

у\_б\_е\_ж\_д\_е\_н\_и\_й; - "они" убегают от папы - в лесные убежища; и, убеждая

"их всех", потрясая своим д\_у\_р\_а\_н\_д\_а\_л\_о\_м, Вспотевший мой папа за ними

гоняется в кущах Касьянова.

#### РАИСА ИВАНОВНА

Затрясется матрасик под ней; и босьми ногами - к окошку; дырявая ставня

скрипит под напорами ветра и света; покрывая волною волос, вся какая-то

мягкая, - тащит меня за подмышки; над одеяльцем нагнется своим мыльным

личиком; бегаем в одних рубашонках.

Как весело!

Завиваются легкие локоны легкими кольцами над ее легким личиком; и, со

мною отпив молочка, выбегает со мною она - в росянистые колокольчики, к

лавочке: мне оттуда кивает; и собираем букет колокольчиков; Мрктич Аветович

к нам подходит: себе попросить колокольчиков; колокольчик протянет она;

Мрктич Аветович рад.

Мы все трое - на лавочке: шутим; Раиса Ивановна, не отвечая на шуточки,

в зонтик уставится глазками, а - кончик зонтика ходит; закушена пухлая

губка, дрожащая от улыбок, когда снимает с меня, жарящего им из песочка

котлету, - мурашика: эта бледная ясность лица - мне мила; и Мрктичу

Аветовичу - мила тоже; и он напевает тогда, что: -

"Из-под лодки плывут рыбки, -

"Это милого улыбки", -

- а пёсинька, с холмика, изогнет

свою спину

и сядет на четырех своих лапах, что-то силясь нам сделать: Мрктич Аветович

опускает глаза! и краснеет Раиса Ивановна: мне это все - любопытно.

Такой смешной пёска...

. . . . .

Бывало, передвигая тазы, мы сидим у жаровни; блистающий таз в пузырях;

и Раиса Ивановна с ложечки мне дает желто-розовых пенок; и вот

восьмиклассник Щербинин пристанет:

- "И мне пеночек".

А, бывало: на липовый листик положит она землянички; и черною шпилькой  
уколется в ясные ягоды: кушает ягоды:  
- "Мне бы..."  
. . . . .  
- "И мне..."  
Пристает восьмиклассник Щербинин.  
- "Нет вам..."  
Мы любили, обнявшись, сидеть, протянув свои личики в зорьку.  
Любили купаться (я еще не купался); она снимет кофточку, юбку,  
чулочки;  
и, остывая, болтает ногами; дает понять взглядом: ай, ай, будет - Бог  
знает  
что, когда о досок она прямо бросится в воду; и белоносная пена  
покроет.  
Любили ходить по грибы; под кустами увидим, бывало, мы  
тугопучный  
березовик.  
- "Мой..."  
- "Нет, - мой".  
Отбиваем его друг от друга.  
Я ее обирал. Даже, раз она плакала; кузовок тяжелел:  
подосинники,  
яркие, на черных ножках, жемчужовые сыроежечки, желтяки, белоглавики  
в нем  
пестрели и пахли листьями.  
. . . . .

#### МРКТИЧ

Мрктич Аветович, знаю, - добряк; Мрктич Аветович - весельчак;  
поднимает  
огромную руку к луне над горбом; и поет из аллеи, встав та лавочку:  
  
- "Ты, всесильный Бог любви,  
"Ты услышь мои мольбы..."  
  
И всем это нравится; и встает над Мрктичем Аветовичем красный  
месяц;  
чернеют горбы на дорожке; то - тени.  
Таинственно...  
. . . . .  
Мрктич Аветович возит нас всех - на п\_и\_к\_н\_и\_к, он садится на  
козлы -  
высоко, высоко над нами; качает горбами; лошадь встанет, бывало: но  
Мрктич  
Аветович ни за что не прибегнет к кнуту; а обращается к лошади:  
- "Милостивая государыня, лошадь". -  
- И всем это нравится.  
Нас везет на п\_и\_к\_н\_и\_к: нам зажарить шашлык: и прочесть под  
луною  
молитву: а\_р\_м\_я\_н\_с\_к\_о\_м\_у\_б\_о\_г\_у; приехали: выгружают посуду,  
бутылки,  
пироги с грибами, паштеты; расстилают скатерть на травы; накидают,  
бывало,  
сухой и трескучий валежник; зачиркают спичками; куча покроеется  
дымом; и -  
подкидными огнями; желтокрылое пламя заширится; и ясными лапами  
пляшет: мама  
снимет шелковый фартучек, полосато-пятнистый (и желтый, и красный) и  
Мрктичу  
Аветовичу перевяжет горбы она; Мрктич Аветович выставит черную  
бороду, и над

огромным, теперь полосатым горбом – простирает свои волосатые руки в  
огни и  
распеваает молитвы армянскому богу: над вертелом; дымы вздымаются;  
падают в  
поле хвостами; шар солнца блистает из них самоварного медью; уже  
любопытно  
зарница забегала в туче.  
Мрктич Аветович в пламени там стоит; и чадит: шашлыками.  
. . . . .  
Смутно помнится мне: –  
– уж колотится колотушка; края тихорогого  
месяца  
ясно прорезались в ветви; на ясные дали разрезались мраки;  
взошла  
колоколенка; знаю я –  
– завывают собаки под дачами: у потайной  
ямы, в  
бурьяне, толкается кучер Федор с Дуняшей нашею, а колючие ежики  
бегают по  
аллеям; их тронь: станут шариками; над могильным крестом возникает  
полковник  
Пунонин; фосфорически светится он; и несется в кустах... на  
касяновский  
парк... –  
– Мрктич Аветович, обнимая меня, убеждает меня, что  
нисколько не  
страшно; и говорит:  
– "Вот Иванов-жучок".  
Приседаю на корточки я.  
Убеждения наши сошлись: мы – друзья.

## ОСЕНЬ

Дни летели в дожди, в желтолистые.  
Залетали синицы; красногрудая пташка, тиликая, перестала  
метаться за  
мошкой на стене белой дачи; трещали сороки; пироги с грибами пошли; у  
камина  
гляделись в огни – в смолянистые трески ветвей; отсырели углы нашей  
дачи;  
пооткрывались болезни желудка; пооткрывались болезни седалищных  
нервов; и  
любовались осенним осинником: он – красноглавый.  
Порасставились дощатые ящики – с сеном: огромные банки и  
склянки туда  
опускались; из поредевших ветвей выкрутлялся откуда-то – клинский  
вокзал:  
красным куполом.  
. . . . .  
Как случилось это – не помню, но помню последствия "случая": мы  
стояли  
растерянно перед множеством полинялых, синих пролетов, перед  
множеством  
рваных, синих халатов, отчаянно подпоясанных красным и на нас громко  
лаявших  
из-под лаковых рваных шапок:  
– "Со мной, барыня..."  
– "Со мной..."  
– "Вот извозчик..."  
И – мостовая гремела.  
"С\_л\_у\_ч\_а\_й" этот мне помнится: и мы вернулись в Москву.  
. . . . .  
Удивляемся мы с Раисой Ивановной тесноте наших комнат; передо  
мною на

ладони квартиры: очень тесненький коридорчик и ползающий по стене таракан:

очень тесная детская.

Та ли это Москва?

Не отсюда уехали мы: мы уехали из огромного мира комнат: он рухнул.

Вспоминаем Касьяново мы. И мы слушаем музыку.

#### ГЛАВА ПЯТАЯ РЕНЕССАНС

смешно,  
окно.  
Пушкин

Ему и больно, и  
А мать грозит ему в  
А.

#### ИЗ КРОВАТКИ

По утрам из кровати смотрю: на букетцы обой.

Я умею скашивать глазки (смотреть себе в носик): и уж стены, бывало,

снимаются - прилипают мне к носику; пальчиком протыкаю я их: легко и

воздушно сквозь степы проходит мой пальчик; туда бы просунуть головку: стена непроглядна.

Моргну: -

- перелетают все стены на место; и там они - тверды.

Действительность, обстающая мне меня, - такова: отвердевает она; изощряюся в

опытах; передвигаю действительность; пятилетие обстает меня опытом; мне в

трехлетии опытов не было; были строгие строи. Я - художник действительности:

в трехлетии я художник "т\_р\_е\_ч\_е\_н\_т\_о": копирую строи; четырехлетие

"к\_в\_а\_т\_р\_о\_ч\_е\_н\_т\_о"; и новые опыты жизни встают; и вопрос перспективы

(смещение зренья) мне жив; вспоминаю картины за нами стоящей вселенной; все

кто-то там меня ждет; все оттуда моргает: синееюшим оком -  
- из желто-лилового

центра: под веками.

"О\_н" - придет и возьмет: уведет; времена на исходе.

Я каждое утро жду встречи. В окне -

- снегомety бело и неярo летят

переносными стаями: легколистая снегопись серебреет на окнах.

#### ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДРЕВНЕГО МИРА У МЕНЯ ЗА СПИНОЙ

И - подкрадутся: тысячелетия древнего мира - в т\_и\_х\_и\_й ч\_а\_с, за

спиной; как хотелось бы мне обернуться - подсматривать: тысячелетия древнего

мира; у меня за спиной - все, бывало, дрожит; и, как будто, грохочет: провал

в иной мир; и миры меня надут, - у меня за спиной; тысячелетия древнего мира

подкрались; -  
- повертываюсь:  
- вместо пролома в стене - этажерочка (та же!) стоит  
себе; и  
на ней строй солдат: оловянные гранадеры мои  
серебрятся мне  
лицами... васильковые стены - за ними: -  
- тысячелетия  
древнего  
мира гремят за стеной; все предметы смещаются; и - удивляюсь я, что я  
- "я":  
все вывернуто наизнанку; и - я сместился с себя; все  
развилося  
преждевременно: развилося - ненормально... -  
- и ненормально я  
развит...  
. . . . .  
Пятилетний, я знал уже: -  
- земля - шар;  
гром - скопление электричества;  
американец гуляет под нами; и - вверх ногами... -  
- Мамочка,  
бывало,  
целует; вдруг заплачет она; и - откинет меня:  
- "Он не в меня: он - в отца..."  
Начинается про меня разговор; и - разгорается спор:  
говорят о  
летаевских - лбах, носах, подбородках, раскосо поставленных  
глазках; мне  
позор: у меня - летаевский лоб; -  
- все Летаевы светлонравные,  
благородные  
люди: -  
- позор: у меня раскосо поставлены глазки.  
Плачу я под окном - в горизонт, а горизонт - ясновзорен: на  
стекле, вот  
на той стороне, поуселися точки алмазиков: а вот на этой -  
плаксиво  
расплющился носик (разве я виноват?); за алмазиками красноречиво  
перелетают  
снежинки; и - каждая - множится: вертит, чертит спирали; и - новый  
алмазик:  
у самого носика: разве я виноват, что -  
- умею показывать я  
цепкохвостую  
обезьяну в зоологическом атласе: и двуутробку с ленивцем?  
Разве я  
виноват, что я слышу от папы:  
- "Дифференциал, интеграл"?  
Из снежиночек мне розовеет уж дом Старикова; саночки -  
пронеслись; и  
знакомой фигуркой стоит - городской Горловасов.  
Разве я виноват, что я - знаю: -  
- папа мой в переписке с  
Дарбу;  
Пуанкарэ его любит; а Вейерштрассе не очень; Идеалов был в  
Лейпциге: с...  
эллиптической функцией; очень ею доволен; живет с ней; и  
ходит: о ней  
разговаривать.  
Удивляется ясноглазое небо (днем оно - ясноглазо); оно -  
строит мне  
тучи; и - образуются строи; образование - меняет мне все...  
Знаю я: -

- придет Притатаенко: Притатаенко-Головаенко, -  
круглоусый,  
курносый: маловласый, обглоданный; придет Василисимов:  
благодарить  
нас за что-то; и - пальцами повертеть на животике:  
мамочка  
зазевает; они - уморивши ей мух, остужают нам воду...  
Папа маме на это:  
- "Оставь!"  
- "Василисимов, знаешь ли, умница... Василисимов, знаешь ли,  
он -  
написал диссертацию: о сходимости несходимых рядов..."  
- "А что он скучноват, так ведь он и не Блещенский: это  
Блещенский  
сторает от пьянства; Василисимов - вычисляет..."  
И - уж крадутся - у меня за спиной, из пролома в стене (меня  
ждут!); и  
повертываюсь - головастый Брабаго с великолепным Нелеповым склепным  
голосом  
спорит и... ковыряет в носу; папа с ними уже  
и\_н\_т\_е\_г\_р\_и\_р\_у\_е\_т; и -  
пошли: к\_о\_н\_г\_р\_у\_э\_н\_т\_ы; - все сместилось; все пошло  
наизнанку:  
преждевременно развилось; и - ненормально ужасно; громяют бульжники  
слов;  
а - Брабаго сидит, а - Брабаго молчит; это-то и есть - математика;  
папа мой  
- математик.  
- "Он не в меня: он - в отца!"  
Это кажется мне ненормальным: и - странный мир поднимается во  
мне - из  
меня: набегает во мне - на меня самого. -  
- Как же так?  
Кто тут "Я"? Я - не я: я - не Котик Летаев! -  
- это-то вот и  
есть  
преждевременно развиваемый математик: второй математик...  
Гуще снежные хлопья; и - гуще: повалили, посыпали; настоящие,  
кипящие  
белояры; ничего не видно за стеклами; а уже - редет, редет; и -  
чисто;  
оборвались все снега; пооткрывались над улицей синие шири;  
пооткрывались за  
крышами светлкрылые блески; в синей шири проносятся облака-  
белоцветы; и  
уходят в стеклянной прозрачности красноперыми гребнями.  
Там - возжение блесков; там - блески над блесками; я - ничего не  
пойму:  
-  
- и утекаю на кухню: к Дуняше; она - молодая, красивая;  
жарко она  
принимается: обнимать, целовать - в лобик, в глазки и в губки; мне  
стыдно.  
Разве я виноват, что мне весело в кухне? Городовой Горловасов  
был у нас  
недавно на кухне, в тулупе; и с - двусмысленной рожицей на носу; он  
проделал  
нам бестолочь: пол толк сапогами; толоки раздавались мне после: пол  
толк  
Горловасов: -  
- расторговался он красными кумачами; паяцы его  
покупатели: -  
-

вон-вон-вон: -

- он, он, он! -

- городской Горловасов постаивает там

знакомой

фигуркою: из башлыка торчит его нос - на перекрестке Арбата.

. . . . .

### "МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК"

Утро: девять часов; а не то - половина десятого; самосыпную  
искрой

трещит самовар.

Я - и папа.

Он едет на лекции.

Лекции - линии листиков; и по линиям листиков - лекций - летает  
взгляд

папы; папа водит по ним большим пальцем; защелкав крахмалом сорочки,  
свирепо

он рявкает:

- "Аа... Так-с!

- "Так-с..."

Это - и\_к\_с\_и\_к\_и, и\_г\_р\_е\_к\_и, з\_е\_т\_и\_к\_и... т\_а\_к\_с\_и\_к\_и;  
таксиков

я встречал на бульваре.

Думал я: -

- из лекционных тетрабочек "и\_к\_с\_и\_к\_и" прорастают  
ростком:

зеленеющим, лепечущим листиком - из набухающей почки;  
деревенеют

жердями; и торчат себе после... оставленным молодым  
человеком: при

Университете, для папы: -

- папа сеет их сеточкой, при  
помощи

карандашика, на бумаге; и согревает дыханием; сеточка  
начинает

расти, зеленеть: -

- и выгоняется "м\_о\_л\_о\_д\_о\_й  
ч\_е\_л\_о\_в\_е\_к",

развиваемый папою: так выводятся в парниках: огурцы!..

. . . . .

"М\_о\_л\_о\_д\_о\_й ч\_е\_л\_о\_в\_е\_к" - просто выросший иксик:  
"молодой

человек" ходит к нам; и молодой человек соглашается с папою.

- "Вы, молодой человек, вот еще почитайте", - старается папа.

И "м\_о\_л\_о\_д\_о\_й ч\_е\_л\_о\_в\_е\_к" соглашается тотчас же:

- "Я, Михаил Васильевич, уж давно собираюсь..."

Папа же его перебьет:

- "Почитайте вы о сходимости несходимого ряда..."

- "Вот-вот именно: о сходимости ряда..."

- "И о прочих рядах..."

- "И о прочих рядах..."

. . . . .

И не то наша мамочка.

- "Вот бы, Лизочек ты мой, почитал: о сходимости несходимого  
ряда..."

- "Ну, нет: ни за что!"

. . . . .

Университет мне известен; известен оставленный там  
"м\_о\_л\_о\_д\_о\_й

ч\_е\_л\_о\_в\_е\_к"; университет - папин дом; молодой человек - папин  
служащий,

как и "п\_е\_д\_е\_л\_ь" с медалью, Скворцов; он, бывало, все ходит с  
бумагой; и

у него - бакенбарды; "м\_о\_л\_о\_д\_о\_й\_ч\_е\_л\_о\_в\_е\_к" - чином ниже; -  
папа с ним очень вежлив и добр: говорит ему "в\_ы" и не  
"т\_ы\_к\_а\_е\_т", как меня и как мамочку; папа вежлив с прислугой, а мамочка  
говорит ей все "ты"; и поэтому мамочка -  
- проходя через столовую,  
видит:  
"м\_о\_л\_о\_д\_о\_й\_ч\_е\_л\_о\_в\_е\_к" там сидит, перебирает неловко руками  
и ими,  
краснея, мнет шляпу, привстанет, отвесит поклон, станет вовсе  
малиновым; мы  
бросаемся с папой спасать его: ташу ему - сломанный слоник; а  
папа ему  
поднесет стакан крепкого чая; "м\_о\_л\_о\_д\_о\_й\_ч\_е\_л\_о\_в\_е\_к" все,  
бывало,  
дрожащею, потной рукою мешает в нем сахар; другою рукой держит  
слоника; я  
хочу его звать с собою - под стол: расставлять со мной кубики.

#### ЮМОР

Меня поражает рисунок: -  
- широкая, черная ваза подъята с  
подставки овалом; она - полуэллипсис; полукруг, купол храма - я  
знаю; а полуэллипсис поражает меня; и мне хочется плакать, смеясь -  
на овале вазы гирлянда из скачущих дяденек  
клинобороденьких,  
желто-карих; выразительно приподняв факелы, из  
них двое откинулись, меча диски; все - с хвостиками... -  
- Это - было.  
Нет - было ли? -  
- и не могу оторваться от вазы; дяденьки в  
черном: они - в темноте; темнота - коридор; желто-карие дяденьки -  
все! - побегут в коридор с факелами - из стран, где я был до  
рождения;  
коридор, начинаясь оттуда, кончается в комнаты;  
желто-карие дяденьки не гнали меня (это было... когда-то) ; мой  
дяденька (все зовут его Ерш) с клинообразной бородкой к нам ходит с  
портфелем под мышкой: у него там припрятан и диск, он  
живет - в полуэллипсисе...  
. . . . .  
Косяк пурпура - на стене; и косяк - на полу; папа что-то там  
чертит на листиках: побормочет, почертит, привстанет; и - разогнувшись, ревет:

"Глядя на луч пурпурного заката".

Краснокрылые косяки - на стенах, краснокрылое облако - в окнах;  
там -

закат, на который глядят; и с которым уходят в никогда не бывшее образом;

о\_б\_р\_а\_з, п\_а\_м\_я\_т\_ь о п\_а\_м\_я\_т\_и, встанет, и вот -  
- Афанасий

Васильевич

Летаев, присяжный поверенный (дядя Ерш), к нам  
покажется из  
темного перехода, выдвинув ястребиный, отточенный  
нос, -  
клинобородый, язвительный, желто-карий, - в золотых  
очках; из  
Окружного Суда отобедать, и на столовых тарелочках  
возникают  
ломтики пеклеванного хлеба" и я думаю: -

- Окружной

Суд -

окружность; окружность и шар суть гармонии; полуэллипсис - ваза...

И - падают в комнаты легкотенные темени. Дядя Ерш будет с  
папою долго

гоняться в пурпуровых заревых косяках: от угла до угла; папа -  
кряжистый,

невысокий, темнобородый, курносый, - очки подопрет двумя  
пальцами и

живоглядно уставится снизу вверх на Ерша, полуприсядет; вызовет  
память о

прошлом; и - точно хочет подпрыгнуть:

- "Ты бы, Ершик, да знаешь ли, Ершик: ты бы им, братец мой,  
показал..."

Думаю: дядя Ерш из портфеля повинымает теперь свои диски  
(гармонии  
сферы)...

А каренький дяденька, закусивши кусок бороды, как  
привскочит на

цыпочках на черном фоне пьянино; зафыркает носом на папу:

- "Ух, ух, ух!"

- "Я, я, я, я..."

- "Ух, да он!"

- "Да она!"

- "Ух, да я!"

. . . . .

Преображение памятью - чтение: за прежним стоящей, не нашей  
вселенной:

-

- я жду: -

- из-под желтого дядина пиджака вытиснется быстро  
бьющий,  
мохнатенький хвостик; думаю - будет пляска; и жду - вот уж  
схватят  
подсвечники, расставивши уморительно руки, все припустятся  
друг за  
другом: подпрыгивать, как... -

- фигурки мной

виданных

желто-коричневых дяденек; из подсвечников вылетят пламеньки

-

- и в

блещущих ритмах забьет страна ритма, где пульс ритма  
блесков мой

собственный, бьющий в стране танцев ритма и образующий мне проход  
в иной

мир; существа иной жизни свободно пройдут к нам в квартиру:  
дяденька

появился уже; и он, знаю, - юмор: все его поведение таково, как будто бы он старался из воздуха сделать "ю" или его изваять: горельефной гирляндой; "ю-ю-ю" - юкает он, бывало, очками; если б все начертания поседали б из воздуха - на кусочек бумаги, то был бы рисуночек - черной вазы, которую бы размашисто окаймили гирляндой - клинобородые дяденьки с факелами, мечами и дисками.  
. . . . .  
Я впоследствии узнаю хорошо: здание Окружного Суда... с полуэллипсисом на крыше.

#### МУЗЫКА

Музыка - растворение раковин памяти и свободный проход в иной мир: и - открылось мне: -  
- все, везде: ничего! -  
- мне и грустно, и весело; я ищу под подушкой, под диваном, под креслом; но подобия - пусты: -  
в\_е\_з\_д\_е:  
н\_и\_ч\_е\_г\_о! -  
- без глаз моргало мне в душу; и комнаты - как аквариум; окна - выходы в небывшее никогда; можно из них выплывать; и - черпать гармонию бесподобного космоса; память о памяти - такова; она - сладкий ритм; она садилась в пьянино; водилась в пьянино; и раздавалась - нам в комнаты.  
. . . . .  
Я однажды увидел, как старый настройщик снял черную крышку пьянино; открылись - миры молоточков; бежали; и настучали мелодию: -  
да!" - "Да-да-  
- "Да-да!"  
- "Все - я-  
я!" -  
-  
Так этот старый настройщик - настроил: на бытии - бытие; "все течет"  
Гераклита соединилось с Парменидовским постоянством: в пифагорову гармонию сферы; и открылся мне путь -  
- к идеальному миру Платона! -  
- Под руладой сажу:  
немой мальчик; и - плачу; и пытаюсь все ручкой поймать мою свободу в "да - да"; несутся багровые окна; и из багровых расколов блистает мне золотом:  
- "Ты - был сир... Пришел - "я"!

#### ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Впечатления первых мигов мне - записи: блещущих, трепещущих  
пульсов; и  
записи - образуют; в образованиях встает - что бы ни было;  
оно -  
о\_б\_р\_а\_з\_о\_в\_а\_н\_о; образования - строи. Образование меняет мне все:  
-  
-  
молниеносность сечется и образуется ткань сечений, которая отдается  
обратно,  
напечатляясь на душе вырезаемом гиероглифом, и -  
- я теперь - запись!  
Но точки моих впечатлений дробятся -  
- душою моею! -  
- и риза  
мира  
колеблется (я потом ее не колеблю); по ней катятся звездочки  
законами  
пучинного пульса, и безболезненно гонится смысл -  
- любого душевного  
взятия,  
то есть п\_о\_н\_я\_т\_и\_е -  
- метаморфозами красноречивого блеска, где  
точка,  
понятие, множится многим смыслом и вертит, чертит мне звенья -  
-  
кипящей,  
горящей, летящей, сверлящей спирали: объяснения - возжение  
блесков;  
понимание - блески над блесками, образование блеска блеснами,  
где ритм  
пульса блесков - мой собственный, бьющий в стране танцев ритма и  
отражаемый  
образом, как п\_а\_м\_я\_т\_ь\_о\_п\_а\_м\_я\_т\_и.  
Впечатление - воспоминание мне; воспоминание - музыка  
сферы;  
воспоминания меня обложили; воспоминания - ракушки; вспоминая, я  
ракушки  
разбиваю; и прохожу через них в никогда не бывшее образом; вызывание  
образов  
прежде бывшего - припоминание той страны, по образу и подобию коей  
прежде  
бывшее было; припоминание - творческая способность, мне слагающая  
проход в  
иной мир; преображение памятью прежнего есть собственно чтение: за  
прежним  
стоящей, не нашей вселенной; впечатления детских лет, то есть  
память, есть  
чтение ритмов сферы, припоминание гармонии сферы; она - музыка  
сферы:  
страны, где -  
- я жил до рождения! Вспоминаю: возникают во мне  
соответствия -  
-  
и в мимическом жесте (не в слове, не в образе) встает  
п\_а\_м\_я\_т\_ь\_о  
п\_а\_м\_я\_т\_и, пересекая орнаменты мне в собственный жест мой в  
стране жизни  
ритмов: там был до рождения я.  
Память о памяти такова; она - ритм, где предметность  
отсутствует;  
танцы, мимика, жесты - растворение раковин памяти и свободный проход  
в иной

мир.

Воспоминания детских лет - мои танцы; эти танцы -< пролеты в  
небывшее  
никогда, и тем не менее сущее; существа иных жизней теперь  
вмешались в  
события моей жизни; и подобия бывшего мне пустые сосуды,\* ими  
черпаю я  
гармонию бесподобного космоса.

#### ПАПИНЫ ИМЕНИНЫ

Помпул захаживал редко, являясь в папины именины: в Михайлов  
день, в  
ноябре.

Я впоследствии вспоминал этот день: многорогая вешалка  
полнилась  
шубами: грохотала столовая, туго набитая профессорами и  
членами  
всевозможнейших обществ; поминутно звонили - входили: седые и  
молодые  
скрутки; то, бывало, войдет полногрудая дама; с ней плоская  
девочка  
(делая низкие книксены), то - неславный пиджачник, то - "Лев",  
молодой  
человек, перекрахмаленный: щелкает грудью; и папа усадит: полногрудую  
даму,  
пиджачника, "п\_е\_р\_е\_к\_р\_а\_х\_м\_а\_л\_е\_н\_н\_о\_г\_о\_щ\_е\_л\_к\_а\_ч\_а" за  
уставленный  
закусками стол; то появится модница: серое, тонкое платье с  
огромным  
турнюром, в боа, в меховой шляпчонке, с наперсточек; и - с  
огромнейшим  
током; приходил даже раз многобитый нахал с поздравлением папе; и  
был нами  
не принят; приходил попечитель Учебного Округа: граф Капнист;  
приходили  
тогда и иные к нам - именитые гости; кудрокрылый, седой Николай  
Алексеевич  
Умов, присылающий торт: преогромный калач; Алексей Николаевич  
Веселовский,  
блистающий голубыми глазами и важно текущий меж стульями; Матвей  
Михайлович  
Троицкий, написавший "Н\_а\_у\_к\_у\_о\_д\_у\_х\_е": в синем, форменном  
фраке, с  
огромной звездой: улыбчивый, белоусый и потирающий руки; садился за  
стул; и  
нежно плакался голосом и замыкался в свое самодушив над куском  
пирога. Очень  
грузный и пышущий дымом Сергей Алексеевич Усов, хрипя и махая рукой,  
подымал  
бурю смеха: он подмигивал мне; я глядел все на родинки; и -  
однажды  
воскликнул:  
- "А скажи-ка мне, мамочка: почему это выросла  
земляничка у  
"к\_р\_е\_с\_т\_н\_о\_г\_о" на лице?.."  
На меня замахали руками: Сергей Алексеевич не растерялся; и -  
прохрипел  
на весь стол:  
- "Это - что... Вот однажды к лицу поднесли мне младенца...  
А он,  
знаете, рот открыл, да и тянется, тянется... Чуть не схватил  
меня  
губками..."

- "Это - что..."

И Сергей Алексеевич Усов, намазав французской горчицей кусок, перевернется на стуле: проявит свое быстродушие перекидным разговором; и бросает им всем неизмятое мнение; он - возжаривал мнения; и пускал их волчками; и мнение начинало кружиться; и - возвращалось обратно; он его убирал; многоносое любопытство стояло, когда из дверей появлялся, круглея чистейшим жилетом, - к нам Третий Филиппович Повалихинский, которого называли они "парижанином" и который был "м\_а\_м\_и\_н\_ш\_а\_ф\_е\_р": он, бывало, меня приподнимет и мягко посадит себе на живот (я его надавлю); в это время мне почему-то казалось, что прячется он, что его укрывает Москва (вся Москва!); и я думал: хорошо ли стирают там пыль под диваном, где прячется Повалихинский (прячутся - под диваном: и все это знают!); должно быть, стирали, потому что Третий Филиппович Повалихинский непосредственно из-под дивана являлся к нам завтракать таким надушенным и чистым; похахатывал, брал меня на живот и, разжевывая своими, как сливы, губами кусок именинного пирога, увлекательно передавал впечатленья о завтраке с профессорами Сорбонны и сказанной "пикуле" (путал я: с\_п\_и\_ч\_и\_п\_и\_к\_у\_л\_и). Вот тогда-то к нам появлялся и Помпул, в наушнике, и с какими-то трубными звуками -  
- "Бу-бу-бу: по штатиштическим данным... бу..." -

он входил: в полосатом и желтом, с двумя желтыми баками, как подобает расхаживать "а\_н\_г\_л\_и\_ч\_а\_н\_и\_н\_у", побывавшему в Лондоне и сломавшему ось пролетки (я напрасно боялся его: он был нежной души человек); появлялся он п\_о\_д-д\_а\_н\_н\_ы\_м, то есть: с Анной Петровною Помпул; Христофор Христофорович был верноподданным Анны Петровны, которую называл кто-то д\_а\_н\_н\_ы\_м: то есть Помпулу д\_а\_н\_н\_ы\_м; он садился за стол, пережевывал свой кусок пирога (с рисом, с рыбой, с вязигю) и рассказывал: -

как ему вырвал врач: вместо дуплистого зуба - здоровый и крепкий: -

а во мне начинается: -  
- вращение набухавшего смысла: в

н\_и\_к\_у\_д\_а и в н\_и\_ч\_т\_о, которое все равно не осилить мне в водоворотном грохоте слов, темнодонных, бездонных, среди плясок ножей на тарелках, в тарарыканье передвигаемых стульев -

- набухание смысла,

гонимого

"светочами" всевозможных отраслей знаний, имена которых впоследствии видывал

я напечатанными жирным шрифтом во всех повременных изданиях: -

- и

проходил я

в гостиную, где стояли столбы коромыслом сигарного мнения: в

п\_а\_п\_и\_р\_о\_с\_н\_и\_ц\_у, в п\_е\_п\_е\_л\_ь\_н\_и\_ц\_у и в красные кресла,

отделанные американским орехом, где тоже сидели все с\_в\_е\_т\_о\_ч\_и, но...

откушавшие свой пирог и опроставшие место; не понимаю и тут: смысл всего

темен мне; но понимаю я жесты движения горластого дымогара; и, уплотняя

словами те жесты вне их яснящих значений, я бы выразил их приблизительно

так, если б мог выразиться: -

- у\_м\_о\_з\_р\_е\_н\_и\_е, выплетаясь, виснет

словами

и дымом из славного рта; и сплетается с

у\_м\_о\_з\_р\_е\_н\_и\_е\_м;

м\_н\_о\_г\_о\_з\_р\_е\_н\_и\_е умозрений осядет на креслах

табачного

копотью, став всезрением мнений; и отлагаются в

воздухе

бледноречивые, стылые стразы; скучают: и, поглядев на

часы, гость

за гостем, приподымаясь, кряхтит, говорит: -

- "Мне пора..."

И отправляется под карнизы имперского здания: -

-

поддерживать

грузы там.

. . . . .

Вот, бывало, Покров; вот уж замелькали снежиночки; Пелагея Семеновна

Мозгова заказала себе выездное, зеленое платье; князь

Носатинский не

купается; в Университете готовится бунт; и Михайлов день катится: на санях

из метелицы.

Жду я - Помпула: будет он говорить нам о зубе.

. . . . .

Повалихинский, Помпул и Усов - еще мне не люди, а ошупи: космосов...

Гуманизма; приоткрывают завесу" они; указуют они... на зарю; оттого-то они

предстают мне впервые в эпоху, когда от меня отступают куда-то: мои

стародавние бреды; и начинает блистать - р\_е\_н\_е\_с\_с\_а\_н\_с...

Я впоследствии их узнаю как людей; но впервые они вырастают из сумрака

титанически иссеченными в камне на портале огромного Здания:

Гуманности и

Свободы; там они мне висят: кариатидами Вечности - в дочеловеческих формах;

они мускулистой рукою сжимают увесистый светоч: и ударяют противников

просвещения: мраморным пламенем.

Перевивы орнаментов, арабески, гирлянды и вазы, полные каменных

виноградин, - дары; и они предлагают их мне; я предчувствую: не оправданны  
на меня их надежды; увы - отвернутся они от меня; и поэтому я -  
- с  
опасением  
созерцаю: -  
- кариатиды подъездов, орнаменты грузных карнизов; и -  
статуи:  
бюст Ломоносова черен и строг; я его где-то видел.

#### СНОВА ОБРАЗА

Вот подобие моей жизни с Раисой Ивановной: -  
- если б мог я  
сказать, то  
сказал бы я так: -  
- перед нею проходит настройщик, снимает рояльную  
крышку;  
блистают миры молоточков; и разливается море руладой рояля, -  
- где,  
как  
соль, растворяются желтые плитки паркета и начинают  
кидаться  
волнами о стульчик, откуда склоняюсь -  
- и вижу: -  
- самую  
подводную  
глубину - с двумя докторами: доктор Пфедфер и Дорионов в образах,  
покрытых  
щетиною рыбохвостых свиней, мелодически плавают там на серебряных  
плавниках  
и лысынами старательно роют подводный песочек: -  
- вместо кресел -  
кораллы  
там; вместо столиков - гроты; и вместо пепельниц -  
перламутры; там  
брызжут фонтанчики: словом - аквариум: -  
- там залегает в  
песках  
аксолотль, дядя Вася; под переливными дишкантами, на глубочайших  
басах,  
Артем Досифеевич Дорионов, там, упирая под боки кулаки, припустился  
резво за  
бриллиантовой рыбкой; и, не догнавши, пускает пузырьки кроворотю  
мордю; и  
- потом: он винтами подносится кверху, чтобы высунуть мокрый  
нос, им  
установиться на меня и добродушно побрызгать алмазным  
фонтанчиком,  
перевернуться и нежиться розовеющим животом -  
- и потом: -  
- он  
низринется в  
темноводные заросли: залегать в этих зарослях и разгрызать слизняков:  
-  
- Так  
слагались мне звуки, бывало: темнеет; и я проседаю - во мраки с  
кроватькой и  
спинкой; Раиса Ивановна издали зачитала под лампой; дремотно; в  
ресницах  
развернуты лучики: белоснежными блесками крылий; там - лебеди:  
звуки:  
переливаются по лазури они; ничего не пойму: -

- то серебряный

старичок, в парике, в лепестистом небесном камзоле, бежит по аккордам на туфлях, смеясь и плача; и на ходу принимается кушать печеное яблоко он; мне - старинно, смешно; я его узнавал и потом.

На аккорде споткнется: и бухнет с размаху - он в мраки молчаний; и, упадая, рассыплется гранями горных хрусталинок и дишкантовой фугой...

А то разразится из ночи весенняя буря; из седопенных дождей зеленеет

нам молнья: -  
- мне все кажется, что я - в воздухе, на распластанных крыльях;

переливаюсь в лазурях (и - струнно; и - струйно); и перья, как пальцы, сияньем проходят по ним; я... заснул.

. . . . .  
Это все выросло из звуков: кипело, гремело, рыдало, носилось, блистало...  
. . . . .

#### ЕЛКА

Если бы всему тому - смёрзнуться, то ретивые ритмы бы стали ветвями; а бьющие пульсы - иглинками; там стояла бы елочка; все мелодийки из нее выростали игрушкой; из трепещущих, блещущих звуков сложились бы нити и бусы; а из кипящих, летящих аккордов - хлопушки; застрекотали бы ломкими бусами хрустали дишкантов; а басы бы надулись большими шарами из блесков; да, мелодия - елочка, где дишканты - канитель, а объяснение звуков - возжение блесков над блесками; Дорионовы, рыбы, гоняются там за орешками; риза мира - там; и риза мира колеблется.

Если сесть в уголок и прищурить глаза, - разрастается все это звучно; и трепещущий, блещущий мир восстает; и гоняются красноречивые блески в яснейших спиралях; и сединится в ясыостях старец; и весь он - алмазный.

. . . . .  
Помню я: -  
- самозвучные половицы скрипели; там от меня запирались: стучались; в столовую озабоченно пробегали: Раиса Ивановна, мама и папа: с пакетами; расставлялись там кресла; и думал я, что губастые рожи, а\_р\_а\_п\_ы, уж там: учреждают "в\_е\_р\_т\_е\_п"; я не спал в эту ночь; к вечеру собирались к нам гости; дети Ветвиковы подразнили меня перед запертой дверью; явился мой папа; и распахнул быстро дверь: - в эту комнату блесков, где в сияющей ясности, из свечей и ветвей рисовались мне б\_л\_а\_г\_а и ц\_е\_н\_н\_о\_с\_т\_и...

неописуемых, непонятнейших форм; и уже заиграли кадрили; и уже откуда-то ворвались к нам губастые рожи (две маски); и сам папа мой, переряженный, появился за ними в енотовой шубе; и - в бумажной короне; велел взяться за руки; ходил вокруг "елки": мы ходили за ним. После я присел в уголок: и смотрел на алмазную куколку, Рупрехта; белоглавая, все-то она там глядела из нитей - задумчивым взором: как п\_а\_м\_я\_т\_ь о п\_а\_м\_я\_т\_и; мне казалось, что на миг явилась т\_а с\_а\_м\_а\_я Древность, в сединах; мне казалось: человекоглавое серебро - растечется; и встанет: огромный старик, весь в алмазах; отслужит обедню; тут меня приподняли к нему; и я сам оторвал от ветвей мою куколку, Рупрехта.

#### РУПРЕХТ

Рождество прошло быстро.  
Хлопнули все хлопушки. И орехи разгрызены; и бусы раздавлены; золотая картонная рыбка расклеилась: пополам; уцелел только Рупрехт.  
Я поставлю на печку его: на меня он уставится с печки; он уставится, через кресла, на стол, на паркеты, ковры. Я поставлю под кресло его: и - глядит из-под кресла. Я его уберу: его - нет; почивает в кардоночке; но все ждет его: умывальники, кресла, шкафы меж собой говорят:  
- "Ушел Рупрехт..."  
. . . . .  
Наша квартира есть память о той стороне, где я не был; в ней - не бывшее никогда оживает; и Касьяново - в ней; на этажерке фарфоровый пастушок разговорился с пастушкой... о Рупрехте (где-то он?); а уж Рупрехт алмазится издали: он уж их видит; он - помнит; нет, он никогда не забудет  
Будет, будет: -  
- похаживать одиноко в огромнейших комнатах, вмешиваясь в события нашей жизни; он - покажется здесь; и - покажется там; и даже пройдет по Арбату, замешавшись в толпе; его видели в кондитерской Флейша; и в булочной Бартельса; может быть, это - он; а может быть, - это папа (у папы огромная шапка и шуба: у Рупрехта - тоже) ; может быть, никакого и не было  
Рупрехта: -  
- Вот он, вон: одиноко стоит там на полке; и слушает слухи о...  
Рупрехте; и слушает он мои мысли о нем... Был ли он на Арбате? Этого не расскажет он мне: никогда не расскажет.

#### МИФ

Куколка затерялась моя; но я верю в нее; мне Раиса Ивановна шепчет, что

бегает вечерами мой Рупрехт - по замерзшим носам: надирает носы; в пустой комнате, там, - он стоит, половицей скрипит; и недавно насыпал серебряных рыбок: в почтовые ящики.

Я прошу показать эти рыбки, настаиваю, а Раиса Ивановна меня уверяет, что он бегаёт в вислоухой, енотовой шубе и в шапке из котика; и я забываю про рыбок.

И - начинаем мы говорить, что... -  
- за Арбатом кончается все (знаю я, что не так это; и все-таки верится); "Б\_е\_з\_б\_а\_р\_д\_и\_с" - последнее торговое учреждение; санки, конки, прохожие, как только вылетят за Арбатскую площадь - у Безбардиса стараются повернуть; и вернуться обратно, чтобы им не низвергнуться... -  
- Под тротуарами, за Безбардисом, -  
- на кубовом небе!

-  
- все свечечки, свечечки, свечечки; и горят себе, точно звезды: это свечки огромной, разросшейся елки, которую -  
- елкою! -  
- мировой старик,

Рупрехт, точно звездными небесами, подпирает... Арбат.

. . . . .  
Помнится: -

- раз идем по Арбату; навстречу нам - папа; путаясь в полах огромной, енотовой шубы с полуизорванным рукавом - набегаёт на нас он, толкая локтями прохожих, - в огромнейшем меховом колпаке, из-под которого выставляется веточка ледорогих сосулук - на огромном серебряном усе; над усом торчит красный нос; на носу - два очка, и это все - добродушно ушло в шерсти меха (и точно не папа, а... Рупрехт); глядит - и не видит; вместо елочки прижимает к груди очень туго набитый портфель; за папой вдогонку - с углов, переулков, с Арбата, - отставая, перегоняя и полозьями натываясь на тумбы, несутся извозчики; хлопают рукавицами и кричат:  
- "Михаил Васильевич..."  
- "Барин..."  
- "Со мною..."  
- "Недорого..."  
- "На Моховую на улицу..."  
- "Довезу вас скорехонько..."  
Мы - кидаемся к папе. Какое там!  
Разве папа нас видит? У него запотели очки: он стремительно пробегаёт, толкая прохожих и нас - полуизорванным рукавом своей шубы: со сворой извозчиков.

И вечереет Арбат.

По вечерам - тихолоуден Арбат (не такой, как теперь),  
быстроцветные  
огонечки моргают; синеют все стылые ясности, оплотневая в  
туманность;  
туманность - чернеет.

. . . . .  
Папа бежал к "Безбардису".  
И вот думаю: -

- что он, и свора извозчиков будут скоро  
низвергнуты: в  
н и к у д а - за "Б\_е\_з\_б\_а\_р\_д\_и\_с\_о\_м": и снова появится папа  
- из-за  
"Б\_е\_з\_б\_а\_р\_д\_и\_с\_а ", с кардонками; из кардонок нам выложит всей:  
яства,  
сласти, подарки; совсем папа Рупрехт; и оба они... как попы.

. . . . .  
Музыка научила, играя, выращивать сказки; и выростали все  
сказки -  
елового порослью: угол кресла - скала; и на него я вскарабкаюсь; я на  
нем -  
великан; и мне зеркало - водопад.

"Р\_у\_п\_р\_е\_х\_т\_ы\_": -

- это вот... как -

- жизнь во мне звука;

но жизнь  
звуча во мне - не моя: принадлежит она миру звука, который  
во мне

опускается: мной играть, как бы... клавишем; переживши тот звук,  
пережил я

его не в себе, а в существе страны звука, в которую был  
приподнят - не

вовсе, а до открытой возможности (двери!) подсмотреть звуковую  
квартиру со

всеми домашними принадлежностями комнат звука; я их не успел  
рассмотреть; и

по образу и подобию копии комнат в моем впечатлении тотчас же  
сфантазировал:

образ; и этот образ себе начинаю рассказывать я; и рассказик мой -  
сказочка;

мои сказочки, собственно говоря, суть научные упражнения в  
описании и

наблюдении в\_п\_е\_ч\_а\_т\_л\_е\_н\_и\_й, которые отмирают у взрослых;  
впечатления

эти живут и во взрослых; но живут за порогом обычного кругозора  
сознания;

сознавание взрослого занято кругом иных впечатлений: в них  
втянуто;

потрясение иногда, отрывая сознание от обычных предметов,  
погружает его в

круг предметов былых впечатлений; и возвращается детство.

Только этот в\_о\_з\_р\_а\_с\_т - п\_о-и\_н\_о\_м\_у.

. . . . .

Игрушки - аккорды; на аккордах мы ходим; аккордами  
входим; в

т\_а\_и\_м\_ы\_е\_к\_о\_м\_н\_а\_т\_ы смысла.

Мы с Раисой Ивановной безбоязненно отворяли все. двери; и -  
проходили

по всем з\_в\_у\_к\_о-к\_о\_м\_н\_а\_т\_а\_м; двери нам открывались; и  
выходили на

"Рупрехты".

Прохождение комнат - игра: мы, играя, - вернемся.

Университетские "люди", бывало, со страхом косились на мамочку; со страхом ходила к ней в спальню по вечерам Афросинья-кухарка: со счетного книгою; мамочка примется: уличать Афросинью, а папочка примется: выручать Афросинью, а Афросинья-кухарка молчит; и на меня покосится (будут ужасы в кухне!): папочка, - крадется с толстым томиком к дверной щелке: подслушивать мамочкины недовольства кухаркой, чтобы потом, в нужный миг, повыскакивать из-за двери - спасать Афросинью.

- "Знаешь ли, Лизочек, - оставь ее!"

А пока же скрипит половицею у приоткрытой он двери; виден: - мамочке, мне и Афросинье-кухарке: просунутый папин нос; и на нем - два очка. Мама хмурится: Афросинья-кухарка смелеет...

Дрожу я: -

- будет, будет нам крик; Афросинья, - она на весь дом прошипит нам котлом; и разговоры подымутся - с тетей Дотей и бабушкой...

- "Михаил Васильевич: чудак, эгоист!"

- "Не в свои дела сует нос..."

- "Мне он портит прислугу..."

Через два часа после другие уже разговоры:

- "Михаил Васильевич чудак: идеалист!"

- "Светлая, гуманная личность..."

- "Простяк он, ребенок..."

. . . . .

Самое страшное начинается: мамочка, разгасяся, меня оттолкнет от себя;

и со слезами в глазах обращается к бабушке:

- "Тоже с Котом вот: преждевременно развивает ребенка; воспитание ребенка - это дело мое: знаю я, как воспитывать... Накупает все английских книжек - о воспитаньи ребенка... Ерунда одна... Нет, подумайте: пятилетнему показывать буквы... Большелобый ребенок... Мало мне математики: вырастет мне на голову тут второй математик..."

- "Ах, да что ты..."

- "Да что вы..."

Я же тут, уличенный в провинности, начинаю дрожать; одиночество нападает: все кажется хрупким.

. . . . .

Опасения, как бы я не стал "в\_т\_о\_р\_ы\_м м\_а\_т\_е\_м\_а\_т\_и\_к\_о\_м", -

одолевают меня; мне ужасно, что я - большелобый: поменьше бы лобик мне;

хорошо еще, что мне локоны закрывают глаза; их откинуть - все кончено

страшная, ненормальная выпуклость - лоб - выдается упорно; и лоб -

расширяется: - у меня громадная голова; она - шар.

Воспоминание о "ж\_а\_р\_е" и "ш\_а\_р\_е" (я "ш\_а\_р\_и\_л\_с\_я" в "ж\_а\_р\_е")

опять нападает; сиротливо мое бытие: в беспредельности я - один, окруженный

печами, отдушиной, трубами, из которых за мною ползут: меня  
взять от  
мамочки; там живут - "математики": папа водится - с очень  
странной  
компанией: преждевременно развитой; угрожает она развить и  
меня:  
п\_р\_е\_ж\_д\_е\_в\_р\_е\_м\_е\_н\_н\_о; и мне кажется: -  
-  
"п\_р\_е\_ж\_д\_е\_в\_р\_е\_м\_е\_н\_н\_о\_е р\_а\_з\_в\_и\_т\_и\_е" уж со  
мною  
случилось, когда-то; я откуда-то  
"р\_а\_з\_в\_и\_в\_а\_л\_с\_я"; и  
"п\_р\_е\_ж\_д\_е\_в\_р\_е\_м\_е\_н\_н\_о" выгнался: осилить  
пустоту и  
упасть (нападает "с\_т\_а\_р\_у\_х\_а" там) в наших  
комнатах; снова  
свился я с трудом; неужели же мне развиться и - выгнаться  
вон...  
уже я проседаю во тьму.

Но э\_т\_о\_в\_с\_е - вечерами...

. . . . .

А утром: -

- с папой мне легко и просто; перед уходом на "лекции" обнимает  
меня;

согревая мне ручки отверстием бородатого-усатого рта, он мне шепчет:

- "Котинька, повторй-ка, голубчик, за мною: Отче наш, иже  
еси на  
небесех..."

И я повторяю:

- "Отче наш, иже еси..."

- "На небесех..."

- "Небесех..."

Не проснулась бы мамочка!

Я люблю очень папочку; а вот только: он - учит; а грех мне  
учиться (это

знаю от мамочки я)... Как же так? Кто же прав?... С мамочкою мне  
легко:

хохотать, кувыряться; с папочкой мне легко: затвердить "Отче  
наш"; с

мамочкою оба боимся мы: придут "м\_а\_т\_е\_м\_а\_т\_и\_к\_и"; с папочкою  
выручаем мы

"м\_о\_л\_о\_д\_ы\_х\_л\_ю\_д\_е\_й" и прислугу.

Грешник я: грешу с мамочкой против папочки; грешу, с папочкой  
против

мамочки. Как мне быть: не грешить?

Одному мне зажить: я - не папин, не мамин; а жить - одиноко...

. . . . .

Милая Раиса Ивановна!

Мы стоим в хрупком круге: почти на тарелке; она врезана в  
синерод: и

синерод полушаром встает там, за окнами...

Вот попадаем мы незащищенно носиться -

- "Нет мочи!" -

- И

сорвется все:

потолки, полы, стены; папа, мама - провалятся; хрупкий круг  
разобьется, и

провалится тоже, как хрупкий круг солнца, за окнами: в тучи; а  
тучи, в

багровых расколах, проходят за окнами; из-за багровых расколов  
блистает

т\_о\_т\_с\_а\_м\_ы\_й (а кто, ты - не знаешь).

## УЖ И ТЕМНО

Уж и темно: нетопыринными крыльями пронесутся там тени, когда -  
перерезая пары, свисты, шепоты, шипы на кухне, полнокровный  
огонь  
перебежит из печи через воздух на стены; и самокрылые светлые  
косяки  
задрожат на стенах... Слышу: толчея за стеною, на кухне; Афросипья-  
кухарка  
там рубит котлеты; а то снимет железную вейку с печи и забьет  
кочергою она;  
и - действия Афросинькиухарки мне не кажутся ясными; все  
они -  
подозрительны; подозрительна ее лихая рука; и - бородавка под  
носом,  
подозрителен вспученный подбородок, как... зоб индюка; подозрительно  
жалобен  
муж Афросиньи-кухарки, костлявый Петрович, рукою слагающий мне на  
печи тени  
зайчика; говорят: Афросинья давно загрызает Петровича; и кидается на  
него с  
острым ножиком: выгнется ее бело-каленая голова с жующим ртом и очень  
злыми  
глазами; и, ухвативши за спину Петровича, она стащит портки; и  
вырезает  
ножом из Петровича... ростбифы (оттого-то на нем мяса нет: только  
кожа да  
кости), а -  
ломти мягкого мяса малиновеют на столике; и кровоусая  
кошечка  
все косится...  
Помню раз: поднималась на кухне возня; и выбегала Дуняша из  
кухни  
поведать нам с плачем, что Афросинья Петровича душит;  
чувствовалось:  
н\_е\_н\_о\_р\_м\_а\_л\_ь\_н\_о\_с\_т\_и р\_а\_з\_в\_и\_т\_и\_я действий; и  
-  
п\_р\_е\_ж\_д\_е\_в\_р\_е\_м\_е\_н\_н\_о\_с\_т\_ь их.  
Думал я:  
- "Вот оно наступило: преждевременное развитие".  
Осознавалось: Петровича уже нет, а есть ломти мяса,  
малиновеющего под  
точеным ножиком Афросиньи, - в шумах и шипах, в парах.  
Мы бежим в проходной коридор; мы стоим в коридоре; самозвучная  
половица  
скрипит; переменяясь, ползут наши тени; тени свесились из  
углов; тени  
свесились о потолков; и чернорогие женщины, возникая из воздуха, -  
угрожают  
из воздуха.

. . . . .

Кружевные дни на ночи: повторяют себя - на ночи"

- "Ту-ту-ту!"

- "Ту-ту!"

- "Ту-ту-ту!" -

- белоглазая Альмочка лапочкой чешет шерстку.

Красноярая свора огней пробежит по печам: окоптит трубы нам.

## МАМИНЫ РАССКАЗЫ

Мамочка, в пеньюаре, положивши на плюшевый пуф алый бархатный  
башмачок  
и дразня им болоночку: -

- ("ту-ту-ту - ту-ту - ту-ту-ту" -  
белоглазая  
Альмочка лапочкой чешет шерстку под мамочкой) -  
- как разблещется  
глазками,  
принимаясь рассказывать нам: что она была девочкой,  
"з\_в\_е\_з\_д\_о\_ч\_к\_о\_й"; и  
что дедушка требовал, чтобы мамочкин лобик открыт был; маме былой  
пять лет;  
а тете Доте - два года; и водился за нею грешок: не просилась  
она из  
постельки; дядя Вася тогда становился  
бездельником;  
"П\_е\_р\_е\_п\_р\_ы\_т\_к\_о\_в\_с\_к\_и\_е" - были куклы; и ездили в  
гости к  
"Б\_р\_о\_б\_е\_к\_о\_в\_ы\_м"; "П\_е\_р\_е\_п\_р\_ы\_т\_к\_о\_в\_с\_к\_и\_е"  
сохранились у  
мамочки, а "Б\_р\_о\_б\_е\_к\_о\_в\_ы\_х" я изорвал; когда дедушка умер, то  
бабушка  
обеднела, а мамочку вывезли: на предводительский бал; и -  
появились  
"х\_в\_о\_с\_т\_ы": то - вздыхатели мамочки; где она, там они...  
двадцать пять  
женихов получили отказ; предлагали они свои руки и сердце;  
получили они:  
длинный нос.  
Мамочка вышла за папочку: из уважения к папочке; ее приданое -  
куклы:  
"П\_е\_р\_е\_п\_р\_ы\_т\_к\_о\_в\_с\_к\_и\_е" сохранились еще; а  
"Б\_р\_о\_б\_е\_к\_о\_в\_ы\_х" я  
изорвал...  
. . . . .  
Мамочка переложит, бывало, ножки с пуфа на креслице; и,  
продолжая  
рассказы, она вся откинется к длинной спинке качалки: -  
- Мои дяди и  
тети все  
слушались мамочку; зажигались огни в белом зале с колоннами;  
дедушка -  
белый, гордый и полный, в чистейшем жилете, держа руки за спину, -  
с очень  
толстой сигарой в зубах выходил из теней: любоваться на игры.  
- "Детки: деточки-деточки... Ангелы-ангелы, ангелы...  
Ну-ка,  
"звездочка": матушка... Ха-ха-ха: хорошо..."  
И проходил за колонны...  
Иногда затевалась война: и пребольно дирала капризница-  
мамочка дядю  
Васю-бездельника за вихор; и тогда из колонн выходил на них дедушка:  
- "Не хорошо: нет-нет-нет... Не хорошо: нет-нет-нет..."  
Дедушка не кричал никогда; он покачивал головой.  
И дом погружался в молчание: бабушка запиралась на ключ;  
мамочка, тетя  
Дотя и дядя рыдали; прабабушка (мамина бабушка) начинала  
шептаться с  
бабушкой; в белоколонной комнате дедушка проносил гордый лоб: от  
колонны к  
колонне; и без всякого гнева шептал бритым ликом:  
- "Нет-нет: так нельзя..."  
Приходили в дом гости: Белоголовый и Иноземцев (тот, которого -  
капли);  
приходил и Плевако - талантливый молодой человек; дедушка говаривал  
им:  
- "Покажу-ка вам "з\_в\_е\_з\_д\_о\_ч\_к\_у"..."

Вызывались дети - петь хором:

"Нелюдимо наше море:  
"День и ночь шумит оно.  
"В роковом его просторе  
"Много бед погребено".

Если кто-нибудь из гостей начинал петь  
"р\_о\_м\_а\_н\_с\_ы", его  
останавливал дедушка, безо всякого гнева:  
- "Нельзя, знаете - в н\_а\_ш\_е\_м доме: оставьте... Дети тут у  
меня, Они  
- чистые ангелы..."  
Пелось:  
"Белеет парус одинокий "В тумане моря голубом..."  
По вечерам, задрав волосы детям, подводили их к дедушке:  
подставлять  
ему лобики; всякий лобик крестя, приговаривал он:  
- "Дай-ка я тебя: в лобик и в глазки..." Занимался  
коммерцией он;  
временами он ездил в Ирбит, приезжая оттуда с мехами; никто из  
домашних не  
знал, что он делает утром в амбаре; с кем торгуется он; и - кому  
продает;  
видывали его, проезжающим по Остоженке, на своей серой лошади, в  
меховой  
большой шапке; и в шубе с бобрами.  
- "Это едет вот - Пазухов; он - советник коммерции. Очень  
почтенная  
личность..."  
Дедушка мало знался с гостями; запирался с двумя докторами:  
Белоголовым  
и Иноземцевым; над молодым человеком, Плевако, подшучивал он; и -  
заходил он  
к прабабушке перед сном со свечою в руке: рассказывать каламбур и  
зачем-то у  
ней взять бумажку...  
. . . . .  
Так, бывало, нам мамочка, разблиставшись глазами, часами  
заводит  
рассказы, положивши на плюшевый пуф альый бархатный башмачок; я,  
бывало,  
заслушаюсь; белоглядные окна - заслушались тоже; белоглазая  
Альмочка  
лапочкой чешет шерстку под мамочкой.

ТИХОНЯ

С паночкой говорить мне нельзя: а то мамочка скажет: -  
"Да он  
преждевременно развит..."  
Ну-ка - буду-ка я кувыркаться! И ну-ка: на мамочку  
поползу, как  
болоночка, прямо к плюшевой туфельке - ее нюхать; и, приложив  
ручку к  
спинке, лукаво виляю я маленьким хвостиком.  
Я - себе на уме...  
Мамочка рассмеется и скажет:  
- "Ребенок..."  
И похлопает меня, как собачку: и подкину ножками... Весело!  
Если бы я ее расспросил, что такое "оно", что встает в уголочке,  
и что  
такое там "мыслится", - то она бы сказала;  
- "Нет, он - математик".

И поднялся бы у нас разговор о большом моем лбе.  
Этот "лоб" закрывали мне: локоны мне мешали смотреть; и мой лобик был потный; в платице одевали меня; да, я знал: если мне наденут штанишки - все конечно: разовьюсь преждевременно.  
. . . . .  
Кувыркаться я очень любил: и любил я подумать; вот только - подумать нельзя:  
- "Ни-ни-ни..."  
Кувыркался я для себя: и еще больше... для мамочки.  
Мне не нравились разговоры: о воспитаньи ребенка; пересекались на мне тут две линии (линия папы и мамы): пересечение линий есть точка;  
м\_а\_т\_е\_м\_а\_т\_и\_ч\_е\_с\_к\_о\_й точкою становился от этого я: я - немел; все - сжималось; и - уходило в невнятицу; говорить - не умел и придумывал, что бы такое сказать; и оттого-то я скрыл свои взгляды... до очень позднего возраста; оттого-то и в гимназии я прослыл "дурачком"; для домашних же был я "Котенком", - хорошеньким мальчиком... в платице, становящимся на к\_а\_р\_а\_ч\_к\_и: повилять им всем хвостиком.  
Но стояло в душе моей:  
- "Ты - не папин, не - мамин..."  
- "Ты - мой!.."  
- "Он" за мною придет.  
. . . . .  
Светлоногий день идет в ночь: чернорогая ночь забодает его.

ГЛАВА ШЕСТАЯ  
ГНОСТИК

розой, Белую лилию с  
сочетаем. С алою розою мы  
Соловьев Вл.

ДРЕВО ПОЗНАНИЯ

Вот Раиса Ивановна -  
- милая! -  
- из кургузых лоскутиков делает шерстяной червячок: красный, красный такой!..  
- "Was ist das?"  
- "Das ist die Jakke..."  
Глядя искоса на меня, наклонилась она к шерстяным красным тряпкам:  
смеется и клонит свой локон в мой локон.  
"\_Яккэ\_", "\_Яккэ\_" - какое-то: шерстяное, змеёвое; ничего не пойму - хорошо!..  
Папа раз к нам пришел; наклонился над лобиком толстеньким томиком в переплете; прочел мне из томика - об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней змее, о земле, о добре и о зле: -

- и я думаю: -  
- об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней змее, о земле, о  
добре и  
о зле; и мне ясно уже: шерстяная змея моя - "\_Яккэ\_"; -  
- бывало,  
сшивала  
Раиса Ивановна красненький шерстяной червячок из кургузых лоскутиков.  
. . . . .  
Сплю: -  
- из кургузых и узких лоскутиков строится ночью  
какой-то  
особенный, свой, нарастающий рост: рост лоскутов разроится  
багровыми  
краснолетами, ходит огромными строями очень громких алмазиков и  
азиатскими  
змеями, лживыми мигами; близятся - пухнуть в огромных рассказах -  
- о  
старом  
Адаме, о рае, об Еве, о древе, земле! -  
- обо мне: о добре и о зле! -  
-  
Начинаю  
мечтать; принимаюсь кричать; -  
- и Раиса Ивановна встанет унять  
меня, взять  
меня спать: на постельку к себе; я не сплю; я - молчу: чуть дышу; мне  
-  
- и  
мило, и древне, и жарко, и грозно, и грустно; -  
- ужасно сжимая мне  
грудку,  
ужасные сжатия в грудку опустятся чувствами: пухнуть... И все  
начинает опять  
мне кричать в очень громких рассказах; сквозь милое, древнее,  
крестное древо  
прорежется: -  
- ясно: -  
- уже не Раиса Ивановна дышит со мною тут  
рядом, а  
пламя тут пышет -  
- "\_оно\_" -  
- ужасаюсь и чувствую: произрастание,  
набуханье  
"его" - в никуда и ничто, которое все равно не осилить; и -  
- что это?  
. . . . .  
"Оно" - не было мною; но было мне, как... во мне, хоть - "во  
вне": -  
- Почему "\_это\_?.." Где? Не "\_оно\_" ли уж Котик Летаев? "Где я"?  
Как же  
так? И почему это так, что у "него" не "я" - "я"? -  
- "Ты не ты, потому что рядом с тобой - какое-то: жаровое  
такое...  
- "Не Раиса Ивановна - грозное, глухое "оно"...  
- "Вот "оно" - набухает: растет стародавнему жизнию...  
- "Тело!" -  
- Так бы я уплотнил словом странные строи из мыслей  
моих в  
том глотающем, лезущем, суетном, водоворотнопустом: и я -  
вскакивал;  
вскакивала и Раиса Ивановна.  
- "Was ist das?"

Схватывала, прижимала к себе; но объятия начинали казаться какими-то стародавними пламенами; ураганное состояние сознания в натяжении ощущений моих начинало носиться во мне крыдородными стаями...  
- "Jakke!..."  
. . . . .  
"Это, - думал я, - рост"; "это, - думал я, - древо познания, о котором мне читывал папа: познания -  
- о добре и о зле, о змее, о земле, об Адаме, о рае, об Ангеле..."  
По ночам поднималось во мне это древо: змея обвивала его,

#### КРАСНОРЕЧИВЫЙ МИГ

"Я помню все: тот миг красноречивый,  
"Которым вы свою любовь открыли..." -  
-

Свершилось: я вспомнил!

. . . . .  
Это было под вечер; и мама была у Гутхейля: вернулась с романсом; меня брали к Дадарченкам; и вернулся я с маленьким, крашеным, деревянно пахнущим клоуном; и - та же обложка романа; в красноречивых разводах: клоун же был -  
полосато-пятнистый; и желтый, и красный.  
Он без слов на меня посмотрел; и без слов мне сказал;  
- "Вспомни же!"  
Мама пела: -

- "Я помню все: тот миг красноречивый..."

Красноречивый мой клоунчик; и - певучий мамочкин голос - все вспыхнуло мне ярко-красным: мне милым, мне древним; и что-то затеплилось в грудке,  
сжимая мне грудку: -  
- Он пришел - ко мне:  
Меня взять, меня взять -  
- и увести за собой:  
- "Не забудь!..  
- "И возьми!..  
- "В свою красную комнату!.." Красноречие течет к нам оттуда!  
. . . . .

"Которым вы свою любовь открыли..."

Клоуна подарила мне Соня Дадарченко - девочка с длинными волосами и  
какая-то вся, как мое пунцовое платьице, о которое мне приятно тереться,  
которое хочется мять, -  
- а пунцовый наш абажур с двумя глазами совы и совиным клювом красноречиво посматривает! грустным, ласковым, древним:  
- "Не - папин, не - мамин..."  
- "Я - Сонин..."  
Он же, клоунчик, все зовет:  
- "За ним - все, все, все!"

И - ослепительна будущность: моей любви... - я не знаю к чему:  
ни к

чему, ни к кому: -

- Любовь к Любви!

- "Я помню все: тот миг красноречивый,  
"Которым вы свою любовь открыли".

Желто-красные пятна заката - в черноватеньких облачках: догорели

-

- последние!

- "Мой леопардовый клоунчик!.."

. . . . .

И я - мыслю без мысли: -

- Раиса Ивановна, милая, там иголкой

делает:

"красненький шерстяной червячок";

- "Was ist das?"

- "Das ist die Jakke".

Как же мог я забыть. \_Яккэ\_ - красненький шерстяной червячок в  
красной

комнате клоуна: -

- когда время окончится, будет... комната клоуна;

там он

делает \_Яккэ\_ - всем, всем!..

Он - за мною, ко мне, - меня взять: в свою красную комнату!

Я прижался к нему: и он пах деревянным; уже убегаю: решение  
роковое -

-

я завтра утром: к нему!..

- А пунцовый наш абажур с двумя глазами совы красноречиво

посматривает:

я - не папин, не - мамин; я - даже, не Сонин; я - клоунов.

Пунцовые отблески гонятся:

"Я помню все: тот миг красноречивый,  
"Которым вы свою любовь открыли".

. . . . .

Засыпаю: и клоунчик - желто-красный! - до ужаса узнанным  
лицом без

слов:

- "О, вспомни!..

- "Ведь это - я!..

- "Старая старина!.."

СОНЯ ДАДАРЧЕНКО

Соня Дадарченко -

- в желтых локонах, с бледным бантом: какая-

то вся -

"т\_е\_п\_л\_о\_т\_а", которую подавали нам в церкви - в серебряной чашке,

-

- ее

бы побольше хлебнуть:

не дают! -

- в желтых локонах: из-под них удивляются два  
фиалковых глаза

на мир; опустились безмолвно в меня, прожигая меня, бархатен и  
ластясь -

- и  
мылым, и древним! -  
и мне изнутри вылагая грудь - чашу, в  
которой,  
кольшется сердце фиалковой синью и ширью, чтоб малым алмазиком  
звездочка  
прокатилась туда бы... Сияющим ощущеньем тепла; -  
и все это  
вносится  
взглядами Сони Дадарченко, девочки в желтых локонах, о бледным  
бантом.  
Подходит ко мне;  
- "Ты - не папин!..  
- "Не - мамин!..  
- "И ты - не Раисин Ивановнин,  
- "Мой!"  
И хочет вести за собою - туда, куда катится звездочка малым  
алмазиком.  
Убегаю за ней.  
. . . . .  
Но она - от меня: прямо в дверь.  
Деревянная дверь в долгих складках портьеры свисает  
серебристыми  
струями; а струи слетают блистающим током: туда -  
- улетает она!  
Оттуда - просунулась Сонечка: лобиком, локоном, глазками,  
бантиком, в  
блесках и шелестах -  
- милая!  
Все, что было, что есть и что будет: теперь между нами: но  
локоны,  
лобик и бантик пропали; и нет ничего! рябь.  
И - утекло все, что было.  
Ничего и не было: струи.  
Что же это такое, что - есть?  
Соня Дадарченко - е\_с\_т\_ь: ничего больше нет.  
. . . . .  
Она водилась меж кресел: садилась в кресло; и раздавалось  
оттуда, из  
складок портьеры;  
- "Ау!"  
И я, тихий мальчик, сидел перед нею, - в малиновом кресле, с  
поджатыми  
ножками: все, что случится, что есть и что было, опять возникало меж  
нами;  
Сонечка не посмотрит, бывало, своими алмазными глазками; у нее  
закушена  
губка, дрожащая от улыбок, когда она, отталкивая меня от себя своей  
ручкой,  
мне что-то такое лепечет -  
- про Диму Илёва, которого у Дадарченко видел я и которого  
невзлюбил:  
- "Не папы-мамина я...  
- "Не твоя я.  
- "Я - Димины..."  
А сама улыбается ясенюльким личиком. Это ясное личико - мило,  
Целую ее.  
. . . . .  
Пятна заката в окне догорают: последние!  
Сумерки.  
Сонечку я не вижу, но - знаю, что там, из угла, два фиалковых  
глаза  
безмолвно проходят в меня, бархатен и ласться мне синью и ширью -

куда -

-  
самоцветная звездочка... скатится!..

Косяк пурпура - на стене; косяк пурпура - на полу: там -  
закат, на  
который глядят...

## ЗАКАТЫ

В эту пору впервые мне и открылись закаты...

Закат: -

- все отряхнуто: комнаты, дома, стены, тучи: все -  
четко; все -  
гладко; земля - пустая тарелка; она - плоска, холодна и врезана  
лишь одним

своим краем -

- туда! -

- где из багровых

расколов блистает он золотом, -

- тянет нам руки из-за

багровых

расколов: и руки, желтея, мрачнеют и переходят во тьму: -

все -

отряхнуто: комнаты, дома, стены, тучи: все - четко; все гладко;  
земля -

пустая тарелка; она - плоска, холодна и мы - в хрупком круге -

почти на

тарелке! -

- А кто-то стоит и глядится из полосатых закатов, чтобы  
уйти в

стародавнюю, черную, зонную Древность; и до ужаса узнанным ликом -

говорит

мне без слов:

- "Вспомни же!..

- "Ведь это - я: старая старина..."

. . . . .

Уже ширятся огромные очи ночи; и восстает она, ночь; и -  
страшное,

роковое решение, -

- улыбался, -

- томной тайной приходит: -

- и мне

кануть с

ним: отблестать в серной Древности: -

- "За ним!" -

- "Все!" -

- "Туда!..."

. . . . .

Но световые пятна заката уже потухают; желто-красною  
леопардовой  
шкурою...

## ПРИХОД... ОТ ГУТХЕЙЛЯ

Я не верил ночам: -

- красная свора огней, мне казалось,

неслась по

печам: накалять печи нам... -

- Там, бывало, зиял раскаленный оскал...

-

- Я

кричал над раскалом:

- "Спасите!.."

- "Нет мочи!.."

. . . . .

Красноречивые миги случались, -

- И если бы уплотнить мне при

помощи

слов эти миги! -

- Когда понимания, мысли, понятия начинали

кричать очень

громко и пухнуть в огромных рассказах; а вещи немели, струясь и расплавленно

утекая, чтоб Вечность, как вещь, возникала в летучем безвещи: и - объясняла

себя -

- очень тихим звонком к нам во входную дверь -

- (ни глазами,

ни ухом

его не уловит никто, потому что спадают очками глаза; уши, тоже, - не уши:

наушники) -

- звонок, знаю я, - от Гутхейля; Дуняша бежит отпирать:

кто-то -

желтый и красный - древнеет, как прежде, в дверях перед дрожащей Дуняшей; -

-

подает картонную карточку с красным крапом; на другой стороне

- т\_у\_з

ч\_е\_р\_в\_е\_й: - это сердце мое; пламенеет оно; решено, суждено: пронзено! -

-

а картонная карточка капает красным крапом нам на пол,

Клоун кланяется: -

- кипарисовой, деревянной рукою откроет он

деревянные

двери столовой: половику щеткой окрасит бестенные стены; красноречивые миги в

спокойных покоях растут на обоях кровавыми крапами, точно древнее древо: -

-

красноречивые карусели кипят; кипятками калят: колесят красноречием; и он -

пролетел в коридор: бьет в упор: -

- фыркнул фейерверк азиатскими

змеями:

тетками. Тетки тикают!

- "Ай!"

- "Помогите!"

- "Спасите меня."

- "Унесите от теток!" -

- Так бы я закричал, если б мог; так

кричать я

не мог: и я - вскакивал; вскакивала и Раиса Ивановна из белеющих простынь: и

- чиркала спичкой; и вспыхивал яркий мир; темнота исходила багрово расколами.

. . . . .

Утро.

Детская. Девять: не двигаюсь... Десять!

Довольно.

Там, бывало, Раиса Ивановна заволнится сквозной рубашонкой; белеет

босою ногою; покрадется с черным чулком и с фланелевым лифчиком:

- "Кофе готово!"

Упираюсь коленом в колено ее.

Она - милая, мягкая: мну ее; -

- будто мягкое платье мое, с

крупным

кремовым кружевом, о которое так приятно тереться и которое так приятно

трепать, мять и рвать -

- ее стисну: повисну на ней; и - затихну.

. . . . .

Рукомойники плещут, по лощатся; мылятся руки - до локтя; намылены -

личико, лобик: до локонов; все - яснее.

И ясно.

Припоминаю сегодняшний сон, то есть красную комнату клоуна: в красной

комнате клоуна древняя змея, Я\_к\_к\_э, - ждала.

Может быть, еще ждет.

Жутко и чутко: жужжат рукомойники; отжужжали! иду коридором - туда!

может быть, она - там.

Но, бывало, войду - погляжу; безвременное временее? вещами.

Столовая - мерзленеет; стенным отложением, точно надводными льдами -

-

на легких спиралях, с обой, онемели давно: лепестки белых лилий легчайшим

изливом; кружевные гардины, как веки, тишайшие нависли, как иней; смотрю: -

-

и окнами, как глазами, без слов отвечаю" мне стены; и - бледноглазая

ясность: покроет покоем.

. . . . .

У Дадарченка была елка: -

- Христофор Христофорович Помпул,

влезая на

стул, начинал очень громко кричать, отцепляя хлопушки, бросая их детям;

Николай Васильевич Склифосовский, чернобородый, веселый, стигаясь под ветви,

ловил те хлопушки; свечи таяли, заструясь и расплавленно утекая в безвещие;

и безвещие трепетало огромнейшим световым ореолом вокруг елочки, объясняя

себя очень громким звонком -

- мы уж знали: то - ряженный; фырчал

бенгальский

огонь; в комнату вбегал клоун: и желтый, и красный, но... в масочке.

#### ТАМАРА

Полиевкт Андреевич Дадарченко раз с Еленой Кирилловной, Сониной мамой,

- читали: какое-то такое... свое.

Не пойму: хорошо!

Понимаю одно я - "Тамара".

И - Т\_а\_м\_а\_р\_а сидит; и - Т\_а\_м\_а\_р\_а молчит: перед окнами; в  
окнах -  
стылое небо: дрожит; и -  
- самоцветная звездочка, -  
- в звездолучие  
ширяся,  
падает из огромного синерода, настоя из блещущих звезд, становясь -  
дву-  
лучием: -  
- перемещаются два луча вокруг диска; диск - ширится; и -  
лебединые  
перья свои протянул он к Тамаре, лаская Тамару сияющим ощущением  
тепла;  
описывал дуги над нею, начался над нею в темнеющем воздухе: -  
- и -  
Тамара  
сидит; и Тамара молчим перед окнами; в окнах стылое небо дрожит, а  
какое-то  
в ней "с\_в\_о\_е" - запекает:

"Я тот, которому внимала  
"Ты в полуночной тишине..."

Полиевкт же Андреевич, Сонин папа, окончил тут чтение,  
приподымая на  
нас толстый нос, ущемленный пенсне.  
Полиевкт Андреевич, из-за книги прояснись, ко мне наклонился  
подчао  
великаньим лицом с преогромною лысиной:  
- "Тоже слушает!.."  
- "Нервный мальчик какой!.."  
И принимался меня он подкидывать на огромных, тяжелых  
ладонях; и  
напевал громким басом:  
- "Ша-ша..."  
- "Антраша!.."  
- "Ша-ша-ша!"  
А когда опускал меня на руки он, то смотрел я на два бирюзеющих  
Сонина  
глаза; Сонечка, клонясь из качалки, меня целовала; но я, -  
-  
простирая над  
Сонечкой руку, - я пел:

"Я тот, которому внимала  
"Ты в полуночной тишине..."

Быстротечное небо кипело, дрожало, дышало, переливаясь  
звездочкой.

#### КЛОУН КЛЁСЯ

Поликсена Борисовна Блещенская появлялась в бьющихся, вьющихся  
лентах:  
черноглазая, с черной мушкой на щечках; прядали пышные перья:  
белело боа;  
точно небо на ней, стрекозящая сетка стекляруса вся кипела, дрожала,  
дышала,  
переливайся блеснами.  
Поликсена Борисовна, обнимая мне мамочку, сопровождала слова  
многим  
смыслом, передо мною гонимых значений.

Я вникал в те значенья: -  
- являлась не наша вселенная, где  
и я был  
когда-то: как знать - до рождения? Слушая речи  
Блещенской,  
закрываю глаза -  
- встают комнаты Блещенских: это -  
комнаты  
Космоса, где клокочут лучи миллионами светлых пылиночек:  
где -  
-  
Валериан Валерианович, черноусый, в мундире - со шпагой,  
встает  
из-за кресла пред ярким камином - с бокалом шампанского...  
-  
-  
Валериан Валерианович, поднимая бокал высоко, запекает:  
"Ах, сколько надежд дорогих..."  
Выпивает бокал; разбивает бокал. Длинный же Клёся, который не  
Клёся, -  
а - Костя ("Клёся" - прозвище Кости) - маленький, юркий и пестрый,  
подхватит  
уже:  
"Сколько счастья!"  
. . . . .  
Эти речи о "К\_л\_ё\_с\_е", о "К\_л\_ё\_с\_ь\_к\_е", о  
"К\_л\_ё\_с\_и\_н\_ь\_к\_е", - без  
которого Блещенские не могли обходиться, который пришел к ним  
зажить, им  
устраивать сферу света -  
- за сферой - сферу! -  
- кружить эти сферы: все  
речи о  
"К\_л\_ё\_с\_и\_н\_ь\_к\_е" сопровождали мне воспоминания маминой  
жизни у  
Блещенских: -  
- где за круглым столом подают "к\_р\_е\_м-б\_р\_ю\_л\_э"  
в виде  
формочки с выступцами, где за круглым столом сидят  
д\_я\_д\_и\_и  
т\_е\_т\_и перед зажженными канделябрами: -  
- мне казалось: -  
-  
гости те  
- Азаринов, Миловзориков, Глянценроде, Гринев - быстро  
выскочат  
из-за кушанья и, схватив канделябры, вдруг пустятся в  
пляску они,  
угоняемые под арку, раскрытую Клёсей, - туда -  
- где их  
всех  
поджидает драгун: "д\_р\_а\_к\_о\_н" Даков - в розово-рдяных  
рейтузах,  
с женою, цыганкою, в бархатном платье: все - Клёся  
устроил,  
смеется, с гитарой в руке:  
- "Сколько счастья!"  
- "Надежд дорогих"... -  
- хохоча, подхватывает Валериан  
Валерианович; и

в его прытко прыщущим шипром кропит уже дама - цыганка.  
. . . . .  
Эта жизнь не есть наша: а - Блещенских; прытко прыщется шипром и  
блеском, разбрызганным Клёсей вокруг, за который ему Валериан Валерианович  
платит: п\_р\_о\_ц\_е\_н\_т\_ы...  
Что такое проценты?  
Не знаю...  
Вероятно - горячее вещество; керосин, антрацит, или...  
уголь...  
Валериан Валерианович посылает лакея - за угольным, тяжелейшим кулем; куль  
приносится... Клёсе; и - жжет его Клёся, превращая горячее вещество в дым и  
блеск. Этот Клёся - искусник: кудесник, чудесник! Вечно бегаёт по дому,  
поклонялся блеску и треску; и - кланяясь куклою; клоун - он.  
Клоун Клёся есть кукла; он - куплен: уступлен; он - в кардонку,  
скривленный, уложится ночью: на беленьких стружечках!  
Встает же с зарею.  
Он завел себе бубен: повесил на стенку себе; этот бубен есть -  
"г\_о\_н\_г": гонг - гудит.

#### СУЩЕСТВО ИНОЙ ЖИЗНИ - ОГНЕВ

Клоун Клёся есть кукла не нашего мира: колдун!  
Он - заведует освещением.  
У него есть волшебный фонарь: из него пропускает струю на стены  
цветные свои перспективы... с цыганами, с тройками, - даже: с известнейшим  
тенором оперетки, Огненным, поражая им - всех: -  
- особенно  
Поликсену  
Борисовну!..  
Сотворенный клоуном Клёсей Огнев появляется в окнах одной фотографии в  
виде демона, поражая Москву (всю Москву!): -  
- это все завел Клёся -  
-  
жизнь  
катится им колесом на кипящих, огневых спиралях; и Валериан Валерианович  
именно оттого и стораёт, что Поликсена Борисовна - в свете: в мазурочном  
носитя пульсе - летающим, блистающим колесом, но -  
- пульс этот  
Клёсин: -  
- он  
знает, что знает; двусмысленно улыбаясь, катит карету словесных значений -  
под арку: -  
- в театр!-  
- где Огнев! И закрываясь в карете б\_о\_а -  
-  
нападающим  
на людей! -  
- Поликсена Борисовна внемлет вещаниям жизни, подсказанным  
Клёсею.

## СМЫСЛЫ ЖИЗНИ

Валериан Валерианович есть полено, объятые пламенем; он рассыпался головешками; головешки алеют, мутнеют: чернеют, сереют - их нет! Фу - развеятся!

Много поленьев.

Сегодня сторело одно; разгорится другое назавтра.

Твердое основание жизни расплавлено Клёсею: многообразием катимых значений: -

- а карета все катится - катится - катится на четырех колесах: в оперетку! И, закрываясь боа, как змеей, в ней, в карете, сидит Поликсена

Борисовна: с черной мушкой, в перьях.

. . . . .

Огнев: -

- вытарачивая свое черное око со сцены, косится давно в бенуар:

Поликсена Борисовна - там; загорелась румянцами от Клёсиных объяснений

двусмыслицы; понимания здесь - блески глаз.

. . . . .

Так бы я уплотнил смыслы слов, передо мною встававших в то время, когда

-

- Поликсена Борисовна появлялась блистательно в бьющихся, вьющихся лентах,

белея боа, как змеей, обнимала нам мамочку и уводила с собою в карету: -

-

казалось: -

- что карета помчится в театр (то есть, в то, чего не было, что

тем не менее существует); в суть иной формы жизни; карета уже улетаёт; за

ней - ряд огней: убегающих дней: -

- в рой теней!

. . . . .

Клоун Клёся хоронится там, - в туманных огнях: набегающих днях; Клоун

Клёся погонится на черноярых конях,

## НЕЛАДЫ

Когда Серафима Гавриловна переехала в Гавриков переулочек, то нам начали

назреть нелады; нелады назревали давно; по углам, по стенам: -

-

все-то

шорохи, шепоты: Серафимы Гавриловны с тетей Дотех:

- "То же вот: эти нежности..."

- "Отнимают ребенка от матери!..."

- "Воображают, что - их!" -

- что-то

тетино-дотино

возникает; и - вот:

- "Неестественны нежности эти: развитие это!..."

- "Наш Кот: не - их!"

- "Произвели бы на свет его сами".

- "А тоже вот!"  
- "Воображают, что - их".  
- "Затесались в дом посторонние личности!" -

что-то

тетино-дотоно возникает; и видно из окон, как черные галки летают над прутьями.

Мамочка тут заплачет; и - скажет:

- "Мой Кот: сюда!"

А Раиса Ивановна - в слезы.

И уже скрипит половица: у приоткрытой двери; и нам виден уже:

папин

нос; и на нем - два очка; и он смотрит оттуда.

- "Знаете ли, Серафима Гавриловна, да и вы, Евдокия Егоровна,

- не

хорошо восстанавливать мать на воспитательницу, так сказать..." -

- и Серафима Гавриловна уезжает от нас, в свой коричневый

особняк:

смутно сыплются смыслы:

- "Мой - Кот!"

- "Кот - сюда!"

Пуще прежнего примется плакать Раиса Ивановна; шорохи, шепоты пуще

прежнего примутся; пуще прежнего плачу в окно - за окно: в ясноглавое

облако.

- "Ай, ай, ай..."

- "Мой Лизочек: напрасно ты это, Лизочек".

Папа мой повздыхает; и вот - убегает обратно; уткнуть нос в очках в

свои листики и в корешки пыльных книжек; и - там горестно шепчется.

- "Дифференциал, интеграл!" -

- тах-тах-тах! -

- барабанит он по

столу

пальцами. Или же: -

- он в распахнутом, пыльном халате бьет пыльную

тряпкою

по толстеньким томикам; или же: -

- он без толку и проку

забр\_о\_дит,

отбарабанивая по углам, по стенам; и - махая линейкой; очень-очень нам

грустно! Раисе Ивановне, мне.

Очень-очень нам грустно!

Нам болоночка Альмочка все-то твякает в спины; она - загрызает щеняток;

Серафима Гавриловна, Афросинья - вот то же: грызутся.

- "Что -

- то -

- те -

- ти -

- до -

- ти -

- но!" -

падают капельки в рукомойнике. Грустно!

Мы сидим: голоса Раисы Ивановны мне не слышно; сидим: никакого события

нет; да и нет - ничего; те же будни; перемогается в лепете капелек время;

Раиса Ивановна, милая, - с перемученным, мертвенно-бледным лицом, тут сидит;

а - дозирующий лик тети Доти из зеркала подымается; по краям серых стен повалили на нас бестолковые толоки: Афросинья рубит котлеты.

УЖАС ЧТО!

Произошло ужас что: долго мамочка плакала; папа наш, заскрипев на весь дом, громко крался к ней в комнату - разговаривать: наклонялся к мамочке

бородатым-усатым лицом, на свой выпуклый лоб приподнявши очки, приговаривал

он и поглаживал мамину руку огромной ладонью:

- "Лизочек, друг мой: я всегда говорил - пустота жизни Блещенских не

была наполнена, мой Лизок, никаким содержанием".

- "Не говорите: ужасно!"

И мамочка, закусив губку зубками, заходила по комнатам, шелестя своим

креповым трэном; за ней ходил папа: с линейкой в руке; приговаривал он:

- "Я всегда говорил".

Слушал я с замиранием сердца: я понял: -

- вот что: -

- Клоун Клёся

давно

уговаривал Поликсену Борисовну дать свиданье Огневу:

- "Ах нет, ни за что", - отвечала ему Поликсена

Борисовна;

но согласилась она, не снимая ротонды, боа и перчаток, заехать к

Огневу; Валериан Валерианович это знал: подждал у подъезда ее:

хохотал; Клоун Клёся - был с ним: хохотал Клоун Клёся.

Неправда!

Валериан Валерианович убежал в тот же день догорать: в Ремешки,

то есть там, куда-то, - за Пензу.

. . . . .

"Сколько надежд дорогих!

"Сколько счастья!"

. . . . .

В комнатах Блещенских, по словам моей мамочки, потушили огни; там

живет только К\_л\_ё\_с\_ь\_к\_а. Из Трубниковского переулка нам виден уже

особняк: в темных окнах опущены шторы; эти темные окна недавно еще были

светлыми окнами; эти темные комнаты были: комнаты Космоса; ныне комнаты

Космоса - темнота, пустота, о которой сказал с раздражением папочка:

- "Пустота жизни Блещенских, мой Лизок, не была наполнена никаким содержанием".

. . . . .

Содержание это - мое; я - наполнил им все.

Смыслы слов обманули; и тайные комнаты Космоса оказались темными

переходами -

- комнат, комнат и комнат, -

- в которые если вступишь,

то не

вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще  
не ясно  
какими, но, кажется, креслами в сероватых, суровых  
чехлах,  
вытарчивающих в глухонемой темноте; там, оттуда -  
гулкий - гремит  
шаг; клоун Клёся там водится: он похаживает, погромыхивает; и -  
кричит нам  
оттуда:  
- "Ах, ах!  
- "Сколько счастья?"  
И меряет счастье - аршинами; если что-нибудь вспыхнет там, -  
клоун  
Клёся потушит; -  
- чувствую невозможность так жить; не прорастают  
понятия  
смыслом: клоун Клёся мне все потушил - навсегда; и мой космос -  
страна, где  
я был до рождения! -  
- мне стоит серым, каменным домом с  
колоннами и  
пустоглазными окнами в глубине Трубниковского переулка. Раз с  
Раисой  
Ивановной проходили мы там; шла фигурка - с крыльца: в переулок;  
длинный нос  
она прятала в свой барашковый воротник, нахлобучив на лоб свой  
колпак из  
барашка: то был клоун Клёся.

#### НЕЛАДЫ - ВСЕ ЕЩЕ

Тетя Дотя и бабушка толкли все еще толчек; смыслы слов  
смутно  
сыпались; мамочка в кремовом кружеве тут ходила; бирюза глазами на  
нас; а  
Раиса Ивановна - поникала все ниже и ниже у окон: поплакать.  
Бывало вот: -  
- легкие локоны льются; поплачет, поплачет  
она;  
напоминанием, как весной, надо мной, нежно никнет она;  
и вот -  
снежно: -  
- леденеет морозом алмазная лилия; уж и солнце  
садится; и  
лилия прогорает: легчайшими переливами; и лилия, алым кристаллом  
блистая,  
погаснет. Темно.  
И уже скрипит половица у приоткрытой у двери; папин шаг;  
папа наш,  
заскрипев половицею, громко крадется в комнату: утешать Раису  
Ивановну и  
меня от назойливых шепотов Серафимы Гавриловны - мамочке: будто  
бы меня  
отнимает от мамочки наша Раиса Ивановна; зажимает папочка ручку в  
большие  
ладони: посмотрит, -  
- и на усатого-бородатого рта надувает  
тепло под  
рукавчик; он - шепчет про небо: под небом все стладится.  
Эдакий он неловкий - зачем он скрипит половицею?  
Он напортит нам все!

Нас, наверно, подслушают; и - Раиса Ивановна будет плакать  
опять.

. . . . .

Ночь: все - пусто; огни потолками проходят: застыли они,  
кружевея; и -  
комнаты, как ковши: зачерпнули за окнами мраку; и, как ковши, - полны  
мраку;

Серафима Гавриловна спряталась в листьях лапчатой пальмы: пугаюсь  
темного  
шепота.

Знаю я, что -  
- Раиса Ивановна плачет в кроватке: трясется  
матрасик под  
ней; и я - к ней из кроватки: поплакать вдвоем.

БОА

Папа снова пришел; наклонился над лобиком толстеньким  
томиком; и  
прочел: -  
- об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней земле, о  
добре и о

зле: обо мне: -  
- мне бы надо трудиться, учиться, молиться,  
чтобы мочь  
зарабатывать хлеб наш насущный: и денно, и ночью.  
- "Хлеб наш насущный даждь нам днесь! И остави нам долги наши,  
якоже и  
мы..."

. . . . .

Воспоминание о потерянном рае гнетет; и я - ходил в Рае.  
Где он?  
Был под веками он: прыщущим пламенем разверзалося древнее древо  
ветвями  
из молнии, огненностью задевая меня; световая смоковница силами  
крепла; глаз  
оттуда смотрел, раздвигаясь, лепестясь мне цветком; голубой цветок  
цвел;  
древо жизни мое покрывалось цветами; золотое яблоко зрело; и вот:  
облетело  
оно; как и старый Адам, - изгнан я; изгнана Поликсена  
Борисовна из  
Трубниковского переулка; я боюсь, что Раиса Ивановна будет изгнана  
тоже; мне  
надо: и денно, и ночью молиться: -

- трудиться, учиться! -  
- чтобы

мочь  
зарабатывать хлеб.  
- "Даждь нам днесь".  
Поликсене Борисовне, знать, недаром белело боа; боа - змей; да,

о\_н\_о -  
обвивается вокруг древа из блесков; оно водится в старых косматых  
лесах; и  
зовется ужасно: "Constrictor..."; там, в косматых лесах,  
состоящих из  
блесков, - боа извивается.  
- "Избави нас от лукавого!"

Поликсена Борисовна не сняла при Огневе ротонды, боа и перчаток,  
и все  
ж была изгнана; что же было бы ей, коль ротонду сняла бы она?  
Раз я видел Дуняшу: она - раздевалась; смотрел на Дуняшу, какая  
такая  
Дуняша - без платья: она - длинноногая.

Дуняша же вдруг рассмеялась; и мне пригрозила:

- "Ни-ни!"

Я расплакался: стало мне стыдно.

. . . . .

Как же так?

А Раиса Ивановна каждый вечер снимает с себя свое платье; и -  
нижнюю

юбку: при мне! Снимает чулочки: стоит в рубашончке; даже: берет меня  
спать.

- "Ай, ай, ай!"

- "Что ей будет за это?"

В ожидании катастрофы я жил: световая смоковница силами огненно  
крепла

в фейерверк молний - под веками: зрели ветви; и голубой цветок  
зрел; но

з\_м\_е\_я там таилась.

В ожидании катастрофы я жил; она и случилась однажды; мы -  
Раиса

Ивановна, я - были изгнаны; я - из светлых миров; а она - на  
Арбат: за

Арбат.

#### ВОСПОМИНАНИЯ

Небывалая грусть охватила меня; -

- с ней, с Раисой

Ивановной, было

связано все, что есть; и - предметы, события, комнаты Мне менялись  
мгновенно

от ее о них мнений: -

- круглота, деревянная голова, мне, бывало,

стрекошет

со стен очень строгими стрелками и блистает язвительным  
циферблатным

оскалом; но Раиса Ивановна -

- милая! -

- мягким агатовым взглядом

посмотрит; и

- скажет: -

- "Часы!" -

- Круглота, деревянная голова, не страшит.

Где Раиса Ивановна?

Затерялась, исчезла она; знаю я, что прошла -

- мимо стен,

коридоров,

передней, по лестнице, в переулки и улицы; из метелицы - в вьюгу;  
а вьюга

бушует; прошли - снегометы. -

- "Туда!" -

- "За ней!" -

- "Все!" -

. . . . .

Я ищу мою милую; втихомолку прошусь с мамой в город, в Пассаж:  
там она!

Серафима Гавриловна, бабушка мне грозит: е\_е\_ прячут - далеко;  
Серафима

Гавриловна... загрызает щеняток, а бабушка - лысая.

Мама берет меня в город: мы на саночках пролетаем; и - в  
саночки;

переулки и улицы пролетают домами; Раисы Ивановны нет; в этом розовом  
доме,

на Кисловке, может быть, она прячется; этот розовый дом я люблю;  
пролетел

этот розовый дом; пролетела Никитская; вот - Столешников переулок;  
Пассаж -

-  
зажигается газ; в окнах - лоснятся ленты; малиновеют материи; от  
окна - к  
окну: там она!  
И - бегу прямо в дверь: открываю -  
- какая-то дама стоит;  
и -  
б\_о\_р\_д\_о\_в\_о\_г\_о цвета материя льется на руки ей.  
Но она - не о\_н\_а; е\_е - нет!

#### ДНИ ТЕКЛИ

Вспоминаю утекшие дни: дни - не дни, а - алмазные праздники; дни  
теперь

- только будни: -  
- дни текли вереницами в тени, которые  
свесились с  
потолков, от углов, сопрягаясь в огромное многообразие,  
которое есть  
теперь: не таимая пустота; и она мне темна; и она мне грустна! -

-  
уж и  
гости-то Блещенских давно расхватили подсвечники и уморительно  
припустились  
бежать - прямо в стены; и, продолжая бесшумную скачку, они  
теневыми роями  
летят в коридор: там метаться огромнейшим многообразием; пролетели они:  
-

-  
пролетели огни вереницами - в дни; дни - текли; и - безглазо  
моргали мне в  
душу; ищу - под подушкой, под диваном, под креслом: Раису Ивановну! -

Но  
подобия пусты: все сказки рассказаны.

Звуки - остались.

. . . . .

Звуками говорила со мною о\_н\_а; и - садилась в пьянино;  
водилась в  
пьянино; и - раздавалась нам в комнаты.

. . . . .

Ходим с бабушкой мы: на Пречистенский бульвар - погулять; не  
Арбатом,  
как прежде, а - Сивцевым Вражком; выходим -  
- какая-то дама уж ходит:

одна -  
по бульвару; там, там она - издали... Сядет тихо на  
лавочку;  
закрывая муфтой личико, на меня тай посмотрит;  
значительно  
посылает улыбки; срываюсь я с лавочки; -  
- я хочу к ней  
бежать,  
потому что это - о\_н\_а; моя милая! -  
- За дрожащую ручку

меня моя

бабушка: хватать!

- "Ни-ни-ни!"

Я - попался... -

- Какая-то дама -

крылоногие  
ветерки; убегаю за ней: ее нет; крылоногие ветерки набежали;  
безрукая шуба  
щетинится комом меха: в снега; и - хлопает по воздуху крыльями.

. . . . .  
Сиротливо бредем мы домой - не Арбатом, как прежде, а -  
Сивцевым

Вражком; расколото небо, багрово мрачнеет оно; переходит во тьму,

. . . . .

Чернорogie ночи мои, чернорogie дни!

По вечерам мне никто не читает - о милой моей королевне; о  
королевне я

думаю; и лучики лампы расширились мне в белоснежные блески  
развернутых

крылий; и голос, забытый и древний -

- как прежде! -

поет:

"Я плакал во сне...

"Мне снилось: меня ты забыла...

"Проснулся... И долго, и горько

"Я плакал потом..."

. . . . .

Умирает во мне жизнь какого-то звука: не меняет значений, не  
гонит

значений; объяснение - не возжение блесков уже, потому что  
комнаты

Блещенских Клёсей потушены, а объяснение папино, что эта жизнь есть  
пустая,

мне - мрак; объяснение это сдувает все блески; понимание мне -

-

превращение

клоуна Клёси в фигурочку пустых комнат; получает проценты она; и за  
векселем

вексель она предъявляет, грозя Поликсене Борисовне подметными  
письмами.

Все я сиживал, мальчик в матроске, в штанишках -

- (это все мне

сшили

недавно: штанишки!.. Все кончено! Математики близко!) -

-

прислушиваясь, как

похаживал, погромыживал Клёся: там - за стенкой; бабушка там, бывало,  
сидит,

копошится: не понятна она; мне страшна. И вот - думаю: -

- бабушка...

это...

это... какое-то: т\_о - д\_а н\_е т\_о... коричневатое-сутулое; и -  
шершаво

жующее ртом: -

- "Эй!

- "Ты!

- "Бабушка". -

- Но очкастая бабушка мне грозитя:

- "Ни-ни!

- "А то Клёся придет..."

- "А то Клёся возьмет..."

А уж Клёся - там, близко: я лезу под стол: да, я знаю, что  
знаю; и -

никому не скажу: -

- как о\_н\_а жует ртом; и как смотрит о\_н\_а

очень злыми

глазами: я знаю, что бабушка... это... это...  
с\_т\_а\_р\_у\_х\_а: -  
- "Возьмите!  
- "Спасите!  
- "Поймите!.."

#### МЕЖДУ ТЕМ

Между тем: -  
- был же мир жизни Блещенских, где гусар  
Миловзорики в  
малиновом ментике гремел ясной шпорой и где красногрудый гвардеец  
Гринева  
гордо выпятил грудь, где, раскинувши в воздухе фалды фрака,  
двубакий  
Азаринов завивал легкий вальс в белом блеске колонн, где на векущих  
вальсах  
носился и я в белом блеске: -  
- обман это все: -  
- потому что  
Азаринов,  
Миловзорики и Гринева припустились бежать друг за другом, тень,  
вливаясь в  
стены, сливаясь в огромное многообразие мне безглазо моргающих  
теней и  
поджидая меня в коридоре: устраивать скачки бесшумных своих  
косяков вокруг  
меня: -  
- тени свесятся с потолков, мне протянутся от углов: и -  
-  
уродливым  
роем проходят по комнатам...  
. . . . .  
Я себя вспоминаю вторым математиком, отвергающим ранние смыслы  
мои и не  
могущим еще мне составить вне этих отверженных смыслов - единого  
смысла,  
которым живет математик: мой папа. Он меня обещает учить: он  
дарит мне  
букварик: -  
- букварик - не шарик: -  
- катается шарик; букварик  
откроешь -  
беззвучно пурпурится буква: наука... -  
- без звука!

#### БЛИСТАЮЩАЯ, НО... "ОПАСНАЯ" ЛИЧНОСТЬ

Я не знаю, когда это было: -  
- и было ли? -  
- помню тонкий, но  
громкий  
звонок: -  
- к нам вошел "д\_у\_х\_о\_в\_н\_и\_к" -  
- о  
д\_у\_х\_а\_н\_и\_и,  
д\_у\_х\_о\_в\_е\_н\_с\_т\_в\_е, д\_у\_х\_о\_в\_н\_о\_с\_т\_и, д\_у\_х\_е я  
слышал:  
"духовник" - это дух, у Престола подъемлющий руки, а  
после -  
ходящий по улице в черной шляпе с полями и с длинными  
волосами: -  
-

вошел "духовник" обвисяющий волосом: волоса, опустьясь на глаза,  
фосфорически  
ясные блеском, упали на плечи под круглую шляпой с полями;  
гремел он  
калошами (громы - действия духов); и высекся отблеск во мне -  
- о  
дobre и о  
эле! -  
- уподобляемый блеску солнца, упавшего очень громко на нас; и  
во мне  
родилось ощущение себя мыслящих мыслей, мятущихся крылорогими стаями:  
-  
-  
ожидания приподымались во мне! -  
- лебединые перья коснулись  
меня: мне  
сияющим ощущеньем тепла, которое подавали нам в церкви - в  
серебряной  
чашечке...  
"О\_н" стоял перед мамою; чернокосмая борода, чернокосмая голова  
и до  
ужаса узнанный лик осветили сознание мне, вылезая из крылий  
огромной  
крылатки; как двулучием, встряхивал крыльями; прошел он в  
гостиную;  
надломился, сел в кресло; качался крылатою головою в темнеющем  
воздухе. И  
казалось: -  
- приподыметса, сниметса с кресла, качаясь в темнеющем  
воздухе;  
подхвативши меня, он со мною помчитса сквозь окна: -  
-  
зажемса за  
окнами: тысячесветием в тысячелетиях времени, осыпайса песней  
без слов,  
которую в старине он певал: -  
- невыразимости, небывалости состояния  
лежания  
его головы в волосах, падающих на глаза и на плечи из сумерек и  
крыловидно  
порхающих в разговоре, напали своим многим смыслом. -  
- Хотелось, -  
-  
чтоб  
мамочка окропила его опопонаксом "Пино" или шипром:  
многий  
прыщущий смысл прытко нрыщущим шипром! -  
- Крылорогими  
стаями рой  
себя мысливших мыслей носилса по комнате... Он исчез как-то вдруг.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Рассуждали у нас о каком-то Владимире Соловьеве - прохожем: -  
-  
без  
проку и толку он ходит: его принимают за черта!..  
- "Блестящая, знаешь ли, личность!"  
- "Опаснейший человек!" -  
- говорилось у нас.  
Казалось: -  
- Владимира Соловьева я видел: и есть он - т\_о\_т  
с\_а\_м\_ы\_й

(а к\_т\_о ты не знаешь); и т\_е\_м с\_а\_м\_ы\_м взглядом глядит (а к\_а\_к и м - ты не знаешь): незабываемым никогда!

. . . . .  
Выражение "опаснейший человек" вызывало во мне представление об опасностях, сопряженных со странствием по домовым коридорам -  
- в которые  
входишь, чтобы идти, все идти, все идти, пока -  
- не будешь подхвачен  
"опаснейшим" Владимиром Соловьевым, шагающим к дальним целям; и -  
ожидающим в коридоре - попутчиков: к дальним целям; это странствие напоминало впоследствии мне: -  
- странствие по храмовым коридорам ведомого египтянина в сопровождении космоголового духа с жезлом -  
- до таимой комнаты блеска,  
откуда показывается сама Древность в сединах и пышные руки разводит свои из Золотого Горба, чтобы -  
- вместе с Владимиром Соловьевым, склониться уже у завесы, как полные тайны фигурки на деревянном шкапу, что склоняются темнородными пятнами перепиленных суков из деревянных волокон, -  
как бы из-за складок; -  
- Древность склонится там под Золотым под Горбом; а Соловьев под крылаткою; Соловьев там протянет свои необъятные руки; разведет там ладонями -  
- образы посвященных переживались мною впоследствии - так! -  
-  
Соловьев, знаю я, станет тут: ослепительно блистающей личностью; и он бросится сквозь завесу -  
- пролет в небесах! -  
- на развернутых крыльях  
крылатки: -  
- блистания этого Владимира Соловьева там, в далях, крылаткой и ликом напомнит двулучие: с ясным диском в середине.  
. . . . .  
Я был у Дадарченка: -  
- с девочкой, Сонечкой, мы сидели вдвоем: в теновом уголку; было мило и древне; посмотрели мы с Сонечкой на гостей; тут пришел - э\_т\_о\_т с\_а\_м\_ы\_й: до ужаса узнанный ликом смотрел; и - без слов говорил.  
. . . . .  
Невыразимое чувство: -  
- я его впоследствии узнавал, неоткрытым в своей остроте, но мне глухо звучащим под образами и событиями жизни - в

произведениях искусства, в грохоте городов, между двух подъездных дверей;  
более всего - на ребре хеопсовой пирамиды, в час тихий вечера, когда солнце  
Египта зловеще отускневало в подпирамидной пыли; и - плавали золото-карие сумерки.

#### ЗАКАТЫ

Удивляюсь закатам: там кто-то блистает в багровых расколах, крылые  
косяки на стенах: пятна пурпура, тая, проходят; со стен - круглота -  
деревянная голова! -  
- отрызнется багрово оскалом; миллионом багровых пылинков  
пересыпаются лучевые столбы; облачко - ясноглаво; и - пламенным ободом  
ополчинилось в небо оно; все - уставились в рубинные окна: моргают в закаты.  
Иногда за окнами - дымы: мороз! Яснолапые облака обвисают тогда  
черноватыми дымами; и, падая в дымы, блистает оттуда диск солнца краснеющей,  
самоварного медью; высоко-высоко-высоко - прояснятся краснороги над крышами;  
то -  
- закат, на который глядят...  
. . . . .  
Закат: -  
- все отряхнуто: комнаты, дома, стены; все -  
четко; все -  
гладко; земля - пустая тарелка; она - плоска, холодна; и -  
врезана  
одним своим краем туда: -  
- где -  
- из багровых расколов до  
ужаса  
узнанным диском огромное солнце к нам тянет огромные руки; и руки -  
мрачней, желтеют; и - переходят во тьму.

#### ДУХИ

Бабушка - все-то шепчет о духах; поминаньице -  
- лиловая книжечка!  
-  
-  
все, бывало, с ней рядом! И - думаю: -  
- о  
д\_у\_х\_а\_н\_и\_и,  
д\_у\_х\_о\_в\_е\_н\_с\_т\_в\_е, д\_у\_х\_о\_в\_н\_о\_с\_т\_и, д\_у\_х\_о\_в\_н\_и\_к\_а\_х  
и о  
д\_у\_х\_а\_х; духовник - это дух, у престола подъемлющий руки;  
напоминает он  
солнце с лучами - с двумя конусами своих парчовых рукавов; световыми крылами  
он бьет, как громами; и облачится в глаголы, как... в светы: -  
-  
Иоанникия,  
Митрополита Коломенского и Московского, видел я!..  
. . . . .

Представление о духовных благах и ценностях очень ярко во мне -  
неописуемых, непонятнейших: в неописуемых, в непонятнейших состояниях  
сознания переживаю я духов по образу и подобию ладанных клубов, взлетающих -

-  
из подкинутой чашечки!  
Золотые, духовные люди к нам ходят... из Церкви; а в Церкви - кадят: -

-  
"Благослови, владыко, кадило!" -  
- помню я этот возглас!  
Кадило... моя голова, когда начинаю раздумывать я обо всем о духовном.  
Как бы это мне выразить?  
. . . . .  
Закрываю глаза: догоняю думами духов; представляются: -

-  
трепеты,  
блески под веками; ощущаются: трепеты детского тела; в трепетах прорастает -  
глава; прорастают руки и грудь мне травой, тихо зыблемой ветром; трава  
зацветает цветами, пестрейшие образования цвета-света - маячат, летят,  
улетают; отхлынуло все мне во мне; в теневое темное море растаяла пена из  
блесков.  
Тогда... -  
- Что тогда?  
Не умею сказать.

#### КАДИЛО

Невыразимости, небывалости лежания сознания в голове, неизреченные речи  
духа -  
- сказал бы я -  
- были: неизреченным его прорастанием в мое детское  
тельце: прорастанием впечатлений в рой ощущений; в сознании упала преграда  
меня духом и "я"; наполнялось сознание жизнью его, как протянутой в пальцы  
перчатки рукою; сознание выворачивалось - из меня самого: и -  
распускалось  
цветочною чашею - надо мною самим (голубой цветок цвел) ; дух слетал в эту  
чашу: -  
- в это время чувствовал я: -  
- давление костей черепа:  
сжималась моя  
голова; ощущались мне не поверхности мозга -  
- (обычно мы мыслим поверхностью  
мозга), -

-  
а центры; ощущения моей головы мне являлись как бы: прощупьями мозговых  
оболочек в вещества жизни мозга; все влипалось мне - внутрь: отливало мне в

сердце; внутри себя, внутрь себя отходило мне все; ощущалась моя  
голова мне  
на уровне носа; вот она мне - орех на моем языке; я глотаю орех;  
ощущение  
переходит мне в горло: сжимается горло; все, что выше, истаяло:  
мозг, его  
оболочки, кость черепа, волосы ощущают себя не собой, а изливами  
пляшущих,  
себя мыслящих мыслей в громадине безголовых пустот, улетающих на  
спиральных  
своих -  
- крылорогими стаями!  
Холоднело, легчало пространство бывшей головы; раскрываясь в  
спиральных  
развернутых листьев и веточек: -  
- спиральное расположение листьев  
растений  
теперь вызывает во мне впечатления крепнущей мысли,  
растущей  
спиральями, где закон повторения следует - через три,  
через пять,  
через шесть: -  
- цветок розы построен законами  
пентаграммы; и  
гексаграмма есть лилия.  
Мне казалось: -  
- ничего внутри: все во мне - все во вне:  
проросло,  
излилось существует, танцует и кружится; "я" - "не-я":  
все, что  
было мне мною когда-то, - теперь -  
- безголовое, проседает  
во мрак:  
голова провалилась; в ее месте есть странная сфера биений вокруг  
единого  
центра.  
. . . . .  
Многоочитый, но обращенный в себя круголет переживал себя: -  
-  
"внутри!"  
Но это "внутри" было - "вне": "вне" сидевшего тела; если бы: -  
-  
это  
"внутри" мне вообразить, сфера влитых излетов -  
- вовнутрь! -  
-  
мне  
напомнила б: сферу бушующих перьев, мне кроющих сферу  
горящего  
лика под нами, ко мне низлетевшего множеством прыщущих  
крылий: я -  
-  
с духом: я - в духе!  
. . . . .  
Сидит безголовое тело; сложило оно мертвеневшие ручки на  
креслице;  
сидит себе - так себе, вне себя; и - само по себе: -  
- вот оно: Кот  
Летаев.  
Где "я"? И - как так? -  
- И почему это так, что у него: "не я" -  
"я"?

Не было бледно-каштановых локонов, падающих на глаза и на плечи: одна лишь безглавица; и - крыловидно поржала она, точно прыщущий из сияющей чашечки дым: -  
- "благослови, владыко, кадило!"

ЕЩЕ - ВОТ

Еще вот: -  
- я садился на креслице: чувствовать в креслице: -  
отливало  
все в сердце: набухало во мне тепленевшее сердце; в руках зажигались пожары:  
ветрами; они выбивали из рук: вылетали из рук мне, как... руки; и эти мне  
"р\_у\_к\_и и и\_з р\_у\_к" изливались под лобик, как... в пару перчаток: -  
сказал  
бы я  
ныне: -  
- мои полушария мозга стремительно плавилась: и перьями блещущих  
дрожать: крылий, разбив черепные покровы, они принимались  
процветать; и мощною прорезью крылий переживалось содержание вне -  
мысленных ощущений моих: себя водящих чувств: -  
переживались: -  
-  
птицею, припадающей к безголовому телу с просунутой длинной шеею -  
горлышком!  
-  
- в сердце: птица думала сердцем моим; надувало его лучевым изливанием  
солнца, пролитого в руки; в месте отверженной головы бились крылья; и -  
водили взмахами: неподвижное тельце являло мне чашу: мысль -  
"голубку";  
вылетала ль, влетала ль голубка - не знаю; казалось: -  
многообразии  
положений сознания относительно себя самого; воображалось: летающим  
многокружием; многокружие потом размыкалось; оно становилось двулучием с  
ясным диском в середине; двулучие билось двукрылием; а диск улетал на  
двулучия: от меня - надо мной; он описывал дуги: летал; перелеты его с  
головы на постельку, на шкафчик, на стены меня занимали; качался крылами в  
темнеющем воздухе; и шумно снимался; в сияющих перьях бросался - за мною, ко  
мне и... в меня; снять мне "я" и лететь с ним чрез форточку в бесконечность:  
-  
- тысячелетием в тысячелетиях времени!  
. . . . .

Котик Летаев, оставленный нами, сидел, проседая во тьму своим креслицем; может быть, видел он: белоснежные блески ресниц - свет из глаза!

- и может быть: лебединые перья по нем проходили сияющим ощущением тепла: сквозь него самого.

Комната прояснеет, бывало; он знает - ^ летит существо иной жизни;

порхать, трепетать, с ним играть.

"Мы" же - "мы"! -

- тысячесветием в тысячелетиях времени мы неслись; появлялся Наставник

и несся за нами: стародавними пурпурами; и ты, ты, ты, ты - нерожденная

королевна моя - была с нами; обнимал тебя я - в моих снах - до рождения:

родилась ты потом; долго-долго плутали по жизни, но встретились после:

у\_з\_н\_а\_л\_и\_д\_р\_у\_г\_д\_р\_у\_г\_а. -

- "Я плакал во сне...

"Мне снилось: меня ты забыла.

"Проснулся... а слезы все льются

"И я не могу их унять".

После встретил тебя: ныне снова - далеко, далеко моя королевна.

- Простираюсь к тебе... И - к Наставнику:

- "Вспомните!"

. . . . .

Если бы в этих мигах моих мне взошло полноумие будущих дней и осветило

бы то тело и если бы - тело умело бы "в\_и\_д\_е\_т\_ь": -

- увидело бы:

наше небо

с землю, Москву, Арбатом, квартирой и Котиком, проницаемым

крыльями невероятной вселенной: вселенная: -

- птицею

спускалась в

него; перед собой она видела - нет, не Котика, а пустую, глухую дыру -

- темя

Котика! -

- в которую -

- вот-вот-вот: точно в гроб, оно ринется!

Все лежанья сознанья под черепом - странноужасны.

. . . . .

Котик - маленький гробик!

## ДВУЛУЧИЕ

Как бы ни было: -

- духа видывал я: он -

- сияние; двулучие от

него

отлетает; два луча бегут вокруг диска; сольются, нагонят друг друга; дух

тогда, как звезда; из нее излетает, как выстрел, огромные лезвия лучевые:

мне в сердце; дух - меч.

"И он мне грудь пронзил лучом  
"И сердце трепетное вынул,  
"И уголь, пылающий огнем,  
"Во грудь отверстую водвинул".

А то, раздвоись, закачается дугами крылий; и тихо распустится,  
точно  
древо цветами, - своими лучами; и нет его: отдал себя он лучам; а  
лучи, -

-  
фосфореют, мутнея во мраке, двумя лопастями, как... лилии; знаю я,  
отчего  
ангел... с лилией.

Лилии возникали во мне; и лилии ли из меня выросли, в  
меня ли

вырастали - не знаю; казалось: я иногда в лепестках; лепестки ясно  
светятся,

облекают собой; я - в одежде из света.

Я духовную ризу носил: облакался в одежду из света;  
воображение

облекало в духовность меня; и был в блеске я; знаю я: -

- я -

сгустился из

блеска; меня выстрелил ангел: я - луч, раздвоенный в излучину;  
ангел себя

отдал мне: он во мне; бесконечные годы излучина фосфорически  
омутневала во

мраке двумя полукружьями крылий; и медленно обрастали они  
костяными

наростами... черепа: -

- так два полукружия мозга, быть может,

сгущенные

крылья; если бы развернулись они, - разорвался б мне мозг; он -  
духовная

пряжа; он - чехол; дух тянулся к нему; облакался в него;  
начинали

вздрагивать думы: и Котик Летаев сидел, как...

...Тамара!..

. . . . .

И - "Тамара" сидит. И - "Тамара" молчит.

. . . . .

Про меня говорили одни:

- Вот "талантливый мальчик"...

- "Он - развит..." Другие уже говорили:

- "Он - глуп..."

- "Дурачок..."

- "Все молчит..."

- "Не имеет суждений своих..."

- "Ну, Котик, скажи что-нибудь..."

- "Отчего ты молчишь?"

Но, бывало, во мне все сожмется: становится точкою; не умею  
высказать

ничего; все-то думаю: что бы такое придумать: -

- слова - кирпичи:

чтобы

выразить, нужно упорно работать мне в поте лица над  
сложением

тяжкокаменных слов; взрослые люди умеют проворно  
сложить свое

слово. И слышу:

- "Да он не имеет суждений..."

И я становлюсь на карачки: виляю им хвостиком, - к спинке  
приложенной

ручкой. И слышу:

- "Вот видите?"

- "Я говорю..."

- "Обезьянка какая-то".

Мне так больно!

. . . . .

Многообразие положений сознания относительно себя самого все  
танцует,

бывало, безобразным, веющим смыслом: летает своим многокружием, как  
яснеющим

диском, во мне; и - размыкается дугами; мысль течет выстрелом  
странных

ритмов; вздрагивает все мое существо: безответно, мгновенно  
взрывается, не

разрешается образом; и - улетает сквозь окна.

В голове моей ветер - всегда: повествует мне ветер в трубе: о  
летающем

космосе.

- "Ну-ка, ну-ка - скажи".

Немота тяготит.

Что сказать?

- "Глупый мальчик: не развит!"

А как мне развиться? Мамочка запрещает развиться; развитие -  
страшно;

быть - глупеньким мне.

Я поплачу.

Штанишки не в пору: теснят они, жмут меня; жую я матросом - с  
огромным

и розовым якорем, но... без слов; и, отвечая на ласки, я трусь  
головую о

плечи; из-под бледно-каштановых локонов дозирую я мир: о, как  
странно!

Нет, не нравится мир: в нем все - трудно и сложно.

Понять ничего тут нельзя.

#### БЕАТРИСА ПАВЛОВНА БЕЗВАРДО

Тетя Дотя - бедная; и - бедная бабушка; мне их жаль: бедные -  
тетя Дотя

и бабушка!

А были - богаты.

Оттого-то они все у нас: и обедают, и ночуют; то - одна, то -  
другая; а

то - обе вместе; и - ссорятся вместе; мы-то вот: ночевать  
никуда не

пойдем...

Тетя Дотя на службе, на Брестской железной дороге; и ходит на  
станцию -

ночевать: через два дня - на третий; а бабушка вяжет косынки:  
костяными

крючками; и когда пуст наш дом, у нее в глазах пойдут пятна; и вот  
только

поэтому она потянется в кухню: заводит тары-бары: - о том, как она  
была... в

соболях, и в какие ленты рядилась, и в какие кареты садилась, и  
как из

Ирбита она получала в подарок меха чернобурой лисицы -

- бабушке

выход на

кухню был нашей мамочкой воспрещен; но, бывало, бабушка в кухне  
Петровича,

Афросиньина мужа, угащивала табачком, раскуряемой  
"п\_у\_т\_а\_н\_о\_й  
к\_р\_о\_ш\_к\_о\_й".

Тетя Дотя и бабушка проживают в квартирке о трех только  
комнатах,

платят двадцать пять рублей серебром, да еще - с дядей Васей, с  
чиновником;

он ходит в Палату с портфелем под мышкой, с кокардою на околышке  
козырька и

с двумя бакенбардами; его прозвище - англичанин; он еще все  
выпивает... с

Летковым; и этот самый Летков - р\_о\_к\_о\_в\_о\_й\_ч\_е\_л\_о\_в\_е\_к.

Дядя Вася приходит к нам редко: устраивать к\_о\_н\_т\_р\_ы и  
обозвать

г\_е\_н\_е\_р\_а\_л\_ь\_ш\_е\_ю... нашу мамочку; это просто не то; просто черт  
знает

что; это все - Беатриса Павловна Безбардо; и - говорят на ушко.

А что "это все", о чем на ушко?

Беатриса Павловна Безбардо?

И никто - ни за что: а не то - произойдет замешательство:  
тетя Дотя

надуется и жалобным голосом примется нам описывать печальное  
положение своей

жизни; а бабушка - плачет.

Папа же - им обоим:

- "Вы, Василиса Михайловна, да и вы, Евдокия Егоровна, - вы,  
скажу вам,

вы Василия-то Егорыча, знаете, оставьте в покое; он - молодой  
человек; "это

все" - так в порядке вещей; и потом - это "все" так давно".

А вот что "это все"?

Протемнели халвою снега; и была всем халва: на лотках у  
разносчиков; и

утекали сосульки на капельках - в слякоть; саночки задевали  
полозьями

слякоть; гнулись старые спины извозчиков в слякоть; и воющим ветром  
валилось

пространство - на землю; и земной шарик бежал во всем этом.

Очень страшно: что делать?

## ВЕСНА

Прослякотился и Арбат; уже он обсыхал; отколотили палками  
мебель;

ножичком отскоблили замазку, вынули стаканчики с ядом и валики с  
ватой;

вымьли нам окошко, и солнце заширилось блесколетней за стеклоглазым  
окошком;

огромные краснороги заогневели за крышами - под вечер. Погрохатывало.

Раз прошел дождик: позеленели все крыши, а тугопучные почки  
открылись

- на красноватых жердях, за забориком, где песик песику пробовал  
усесться на

спину: позеленели все жерди; и закричало на нас: Дорогомилово -  
грохотом; и

стало выбрасывать на Арбат: ломовых, фабричных и конки; поехала  
пестрая

фура: "Шиперко"...

Раз стояли мы на железном мосту над бутылочной мутной  
водой,

раздробленной в громкие белоструи; я бросил весенний подарочек,  
зайчика, -

туда, в белоструи; и плачущим привели меня к бабушке, где дядя  
Вася с

Летковым продолжали уписывать кашу с маслом, а черноглавый Летков из-под

гущи усов засверкал нам глазами.

Мамочка говорила им всем про плохую московскую мостовую, и, разгораясь

щеками, вспоминала она Петербург: -

- какие красоты там, какая

торцовая

мостовая, какие гусары, как они говорят, что едят - у

Поликсены

Борисовны и у Большого Медведя; рассказала про Мариинский

театр и

про то, как она налила стакан чаю Великому Князю и как

Великий

Князь играл в карты... -

- Бабушка натирала

"П\_у\_т\_а\_н\_о\_й

К\_р\_о\_ш\_к\_о\_ю" - табачком шелестящую пачечку гильз, а тетя Дотя - моргала

глазами, вздыхала: на железной дороге ей нет: - Петербурга; и

нет ей -

гусаров; телеграфистки вообще ужасно не ком-иль-фо, а телеграфисты - нахалы.

Вот уже принесли калачи; дядя Вася - представьте, - без всякого грубиянства

стал тихонько наигрывать на гитаре:

"Наклонишь ты свою головку,

"И на него поглядишь;

"Но знаю я твою уловку -

"Ты только ревность мою дразнишь". -

- А Летков из-под гущи усов меланхолически подпевал: вот уже они

переглянулись и надели пальто.

Мое новое платье - жмет; и мне грустно; и я - вспоминаю: погибшего

зайчика; вспоминаю и то, что нам у нас расставлены сундуки, что туда уложено

очень многое; что-то нам приготовлено; что-то будет - не знаю:

ветрами

повалили пространства; уж и гремело над нами; и земной шарик бежал - во все

это. Мне очень странно.

#### МРАК НЕИЗВЕСТНОСТИ

Знал ли я, что опять мы поедем... - в Касьяново: в изумрудные, кипящие

кущи - и к изумрудному пруду, где бегут стальные отливы под липы и ивы; -

- и какие пойдут

пироги нам с

грибами! -

- где с огромной террасы под ясными днями будем мы

распивать

молочко, где самый воздух не воздух, а резедовый настой; где бегут

облака -

кудластые, растормошенные, ясные, а то дымные, с громом - к бирюзеющей

дали, а в воздухе хрусталеет над прудом трескучее крыло коромысла; где из

зелени встала - стародавним каменным шлемом и моховатым лицом: однорукая

статуя со щитом; где желтеют маслята и где композитор Чайковский  
проживает  
от нас в четырех верстах: в Фроловском; где Иван Иванович Касьянов в  
горьком  
запахе роз проповедует нам печально про восстание всех против всех и  
про то,  
что нас всех перережут; где по огромной аллее, потрясая в  
воздухе  
д\_у\_р\_а\_н\_д\_а\_л\_о\_м, ожесточенно забегает папа, не согласный на  
то, чтобы  
нас перерезали; где по ночам завывают собаки и совы, а над могильным  
крестом  
возникает покойный полковник Пупонин и тихо несется в кустах на  
Касьяновский  
парк.

Знал ли я, что -  
- приедет к нам офицер с эполетами, из города  
Витебска,  
что, надевший белый свой туго-стянутый китель, будет он проходить в  
старый  
парк и рассказывать всем, как за месяц поправился он в касьяновском  
воздухе,  
и, отмахнувшись пахучей акацией от танцующих комаров,  
позабавит нас  
анекдотами о командире полка и о витебской барышне.

Знал ли я: -  
- что под самую осень, когда по дорожкам закружит,  
шурша,  
желтолистые и красноглавый осинник зареет на небе  
стеклянном,  
когда -  
- проступают холодные пятна под окнами каменной  
дачи и  
цокает красная белочка, -  
- офицер с эполетами прихворнет -  
-

и уедет  
от нас, вдруг на что-то надувшись, с болезнью седалищных нервов...  
в свой  
Витебск; и мы переедем за ним: на Арбат.

Воспоминание о Касьянове в это лето мне бледно; оно связано  
более всего  
с игрою в крокет офицера, с отплясыванием им лезгинки по  
вечерам, пред  
зажженным огнем и с болезнью седалищных нервов, которой боялся я  
долго.

#### РАСПЯТИЕ

Мне бесказочно все в этот год, но я переполнен какой-то  
невнятной  
правдою; провозгласи ее я - и огромное Слово опустится: в слово  
мое; и -  
новые блески зажгутся; и ко мне склоненные старики - папа мой,  
Полиевкт  
Андреич Дадарченко, Федор Иванович Буслаев, Сергей Алексеевич  
Усов, мой  
крестный, - огромную правду мою понесут по мирам: затрясут  
очкастыми  
головами; и - рявкнут:  
- "Воистину так это, Котик!"  
Но - нем: -  
- Правду высказать невозможно: она горит в  
сердце, к

которому опускаю глаза - опускаю: смотреть себе в грудь: во мне подымается жест; две ладони подымают мне... воздух: у сердца; и этот воздух мне - сладкий.

Он - веет в лицо мое.  
Чем?

. . . . .

Взрослые говорят обо мне; теть Дотя и Серафима Гавриловна представляются мне очень злыми: они ненавидят огромное Слово, которое спустится в слово мое (я не знаю, когда это будет); распнут меня - распятии слышал я.

Старики подбежали ко мне: и чего-то ждут; окружают меня добродушною ласкою, вынуждая меня преждевременно развиваться; Полиевкт Андреич

Дадарченко мне поет:

- "Ша-ша-ша: антраш\_a\_!"

А Федор Иваныч Буслаев в щетинистой шубе приносит мне сладкой пастилки; подносит мне папа букварик.

И - старческий шепот стоит вокруг меня: и мне кажется, что вот-вот они

склонятся передо мною с дарами, - таить, молчать, вспоминать какую-то

древнюю правду, которой касаться нельзя, которую вспоминаешь безропотно,

вспоминаешь, тогда -

- об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней змее, о добре и о зле.

Папа, Федор Иваныч, Сергей Алексеевич Усов составили себе представление

об Еве и древе; и ждут от меня подтверждения своих слов; воображаю

впоследствии я себя стоящим среди них; и мне видится жест мой: -

стою,

опустивши ресницы: и - с бьющимся сердцем; две ладони - ладонь под

ладонью! - все силятся приподнять в сердце данное слово: мне к

горлышку; в горлышке что-то теснит; и слеза ясно зреет; но слово -

не поднято; в полуоткрытый мой ротик повеяло сладким ветром моим:

две ладони приподняли к роту - только воздух пустой: слова нет;

я - молчу... -

- И мне грустно: я ничего не скажу; если

бы я и

сказал, то слова мои обманули бы их, отвергая дары; потому что я знаю, что

знаю: мне кусочек рябиновой пастилки не говорит ничего; пастилка будет

съедена; и от этого ничего не случится; скажи это я, - знаю я - огорчится

мой друг, Федор Иваныч Буслаев; и как сказать папочке, что букварик его

непонятен и чужд вовсе мне (откроешь - беззвучно пурпурится буква: н\_a\_у\_к\_a

б\_е\_з з\_в\_у\_к\_а); как сказать мне, что клоунчик вырос огромнейшим  
Клёсей и  
погасил все огни: погасил древо жизни под веками, что чудесная  
весть - об  
Адаме, о рае, об Еве, о древе, о добре и о зле! - лишь пустой  
особняк в  
глубине Трубниковского переулка...

. . . . .  
Я себя вспоминаю поникшим: мне грустно; дары окружающих меня  
ласкою  
треющих стариков лишь обломки... рухнувших космосов и стародавних  
громад, о  
которых давно повествует мне ветер в трубе, что их - нет: и туда,  
в это  
"нет", побежал земной шарик; букварик мне их не вернет.

. . . . .  
Между тем: уже бабушка, тетя Дотя и старая дева, Лаврова,  
обижены  
ожиданьями; и когда они не исполнятся, то есть -  
- когда косматая  
стая  
старцев, шепчась и одевая печально шершавые шубы, уйдет  
от меня,  
то -  
- то придвинется стая женщин с крестом: положит на  
стол; и  
меня на столе, пригвоздит ко кресту.

. . . . .  
О распятии на кресте уже слышал от папы я.  
Жду его.

-----

#### ЭПИЛОГ

Миг, комната, улица, происшествие, деревня и время года,  
Россия,  
история, мир - лестница расширений моих; по ступеням ее я  
всхожу... к  
ожидающим, к будущим: людям, событиям, к крестным мукам моим; на  
вершине ее  
- ждет распятие; мое платье из пунцового шелка, отсюда, из этого  
мига, мне  
кажется: багрянницей моею; мне кажется: я тащу на себе деревянный и  
плечи  
ломающий крест; стая воронов обгоняет меня, задевая крылами; в клювах  
их все  
железные гвозди: проткнутый, я повисну на них; представляется мне:  
ветер  
рвет багрянницу; под бременем падаю я; у ног моих яма; с годами она  
зарастает  
невнятными травами.

Ступень за ступенью открыта мне спереди:  
Ожидают меня.  
Ожидают меня: мои новые миги; и - новые комнаты -  
- комнаты,

комнаты! -

-  
из которых назад мне вернуться нельзя: и глаза мои расширяются; и  
невидящим  
взором гляжу я в пространство: происшествия нарастают деревней и  
временем

года; шумы времени ожидают меня, ожидает Россия меня, ожидает история;  
изумление, смятение, страх овладевают: история заострилась вершиной; на ней... будет крест; я поставлю его: будет он мне последней ступенью к огромному миру; на нее... должно взлесть; под ногами моими мне будет сумятица жизни, толпа, на которую буду взирать я невидящим взором, обнимая руками огромные перекладины дерева.  
Мое слово могло бы родиться не прежде.  
Пройдут за ступенью ступень: миг, комната, улица, происшествия времен года, Россия, история, мир.  
Это все - впереди.  
Позади же действительность, о которой я думаю ныне, что она - не действительность; но она и не сон.  
- "Что в\_с\_е э\_т\_о?"  
- "И - где о\_н-о было?"  
Если бы ощущения эти остались мне в моих будущих днях, если б в темное это место взошло полноумие моих будущих дней и осветило бы мне восстание моей младенческой жизни, тогда бы -  
- в месте сознания бы оказался провал; сознания в нашем смысле, где -  
- (что-то мучилось красным пожаром, в мучении вспыхнуло "я" - мое "я",  
исходя в окрыленных огнях, как в крылах) -  
- вспыхнуло Солнце, Око, и, меня отторгнувши, из меня излетело, оставив связь блесков, между собою и мною: мои комнаты Космоса!  
Мои комнаты Космоса мне остались под веками долго! в годах угасали они.  
Они вспыхнули - после.  
. . . . .  
Я прошел состояние тепловое: внутри его вспыхнуло Солнце; снялось, взлетая яснеющим диском и освещая меня, как луну, - стародавними мифами;  
внутри них вытверделась земля: в ней живет ныне "я".  
Знаю я, - будет время: -  
- (когда оно будет, не знаю) -  
- буду  
разъятый в себе, с пригвожденным, разорванным телом, душою, - в разрывы страданий моих устремлять долгий взор; задымятся события мне стародавними клубами; отверденелый мой корост рассядется надвое: и полукружие снов вновь нальется: яснеющим диском; полетит ко мне диск (будто бросится солнце на землю), сжигая меня.  
Вспыхнет Слово, как солнце, -  
- это будет не здесь: не теперь.  
Самосознание мое будет мужем тогда, самосознание мое, как младенец еще:  
буду я вторично рождаться; лед понятий, слов, смыслов - сломается: прорастет многим смыслом.

Эти смыслы теперь мне: ничто; а все прежние смыслы: невнятица;  
шелестит  
и порхает она вокруг древа сухого креста; повисаю в себе на себе.  
Распинаю себя.  
Стая воронов черных меня окружила и каркает; закрываю  
глаза; и в  
закрытых ресницах: блеск детства.  
Перегоревшие муки мои – этот блеск.  
Во Христе умираем, чтоб в Духе воскреснуть.  
1915 г.

## Валерий Брюсов

### Об авторе:

### Д.П. Святополк-Мирский.

### Брюсов.<sup>64</sup>

Валерий Яковлевич Брюсов родился в 1873 г. в купеческой семье. Он получил хорошее образование и позже, постоянно читая и занимаясь, стал, быть может, одним из образованнейших людей своего поколения. В 1894 г. вместе с А. Л. Миропольским он опубликовал получившую скандальную известность книгу *Русские символисты*. Эта и последующие книги стали на целое десятилетие излюбленным объектом насмешек в печати. Имя Брюсова стало в литературе синонимом шута, и, хотя других символистов (Бальмонта, Сологуба, Гиппиус) довольно доброжелательно принимали в литературных журналах, для Брюсова их двери были закрыты вплоть до 1905 г. Брюсов совершенно не соответствовал такой репутации: он вовсе не был шутом, он вообще был самой торжественной и невыносимо серьезной фигурой во всей русской литературе. Но его ранняя поэзия настолько отличалась от того, что обычно печаталось в русских журналах, что критики не могли расценить ее иначе, как оскорбительный розыгрыш. На самом деле Брюсов просто подражал (довольно по-детски) французским поэтам своего времени. В течение многих лет каждую новую книгу Брюсова встречали с возмущением или насмешкой. Но Брюсов не сдавался. Его стиль мужал. Росло число его последователей. К 1903 г. он стал признанным главой большой и энергичной литературной школы; к 1906 г. его школа выиграла битву; символизм был признан как русская поэзия, а Брюсов как первый поэт России. Те критики, что издевались над ранним творчеством Брюсова, приветствовали его сборник *Stephanos* (Венок), появившийся в 1906 г. на вершине революционного подъема. Успех книги был, возможно, самой значительной датой в истории движения символизма к господствующему положению в современной литературе.

В 1900 г. Брюсов стал *de facto* руководителем издательства, объединившего силы нового движения. В 1904 г. они начали выпускать обозрение *Весы* - без сомнения, самое культурное, самое европейское издание своего времени, выходившее до 1909 г. С 1900 до 1906 гг. Брюсов был главой единой и сильной партии, шедшей к успеху; после 1906 г. его положение еще больше укрепилось. Но талант его начал клониться к закату. По сравнению со *Stephanos* сборник *Все напевы* (1909) не принес ничего нового, а

---

64 Мирский Д. С. Брюсов // Мирский Д. С. История русской литературы с древнейших времен до 1925 года / Пер. с англ. Р. Зерновой. - London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. - С. 672-677.

последующие сборники оказывались все хуже и хуже. Начиная с девяностых годов, Брюсов с удивительной энергией работал в самых различных областях литературы, - стихи Брюсова лишь малая часть его литературной деятельности: он успешно переводил иностранную поэзию, писал прозу и пьесы, рецензировал почти все вышедшие поэтические сборники, издавал классиков, работал в архивах, готовя материалы о жизни Пушкина, Тютчева и других, невероятно много читал, и все время был фактическим редактором журнала. При том Брюсов отнюдь не был аскетом, - его любовная лирика основана на богатом жизненном опыте, а кроме того, он на себе испытывал "искусственный рай" опиума и кокаина. Но это никогда не мешало ему работать. Замечательный пример работоспособности Брюсова - сборник армянской поэзии, составленный им по просьбе комитета армянских патриотов. Комитет в 1915 г. обратился к Брюсову с просьбой издать подборку избранных сочинений армянских поэтов на русском языке. Менее чем за год Брюсов выучил армянский язык, прочел все, что можно было достать на эту тему, почти все переводы сделал сам и в 1916 году выпустил огромный том *Поэзия Армении*. Книжка стала замечательным памятником человеческой работоспособности и лучшим изданием такого рода.

По сути Брюсов был аполитичен. Его отношение к политике было чисто эстетским. Это хорошо выражено в его строках 1905 г.:

Прекрасен, в мощи грозной  
власти,  
Восточный царь Ассаргадон,  
И океан народной власти,  
В щепы дробящий утлый  
трон!  
Но ненавистны полумеры (...)

До 1917 г. Брюсов не участвовал в политической жизни, но, когда большевики пришли к власти, он стал коммунистом. Это было вызвано не политическими убеждениями, напротив, их отсутствием, потому что именно политические и нравственные убеждения не позволяли большинству гражданственно настроенных людей сделать этот шаг. Возможно, причина еще и в том, что Брюсов больше не чувствовал себя лидером и надеялся, примкнув к самой передовой политической партии, снова стать передовым и современным. Кроме того, революция 1917 г. соответствовала его эстетическому идеалу "океана народной власти", - и он явно сочувствовал механическим схемам Ленина.

Сначала Брюсов получил синекуру, потом более ответственный пост главы цензурного комитета, но ему так и не удалось приспособиться к правоверным коммунистам, и его сменил на этом посту более надежный партиец (романист Серафимович). Не удалось Брюсову и добиться признания у поэтов "левого фронта", которого он искал со времени возникновения футуризма. Последние годы Брюсов проводил в одиночестве и очень страдал от того, что оказался вне движения. Единственным его утешением была работа с молодыми пролетарскими поэтами, которым он давал регулярные уроки поэтического мастерства. Брюсов умер в октябре 1924 г. в возрасте пятидесяти одного года, на пятнадцать лет пережив расцвет своей славы.

Поэзия Брюсова, так же как и Бальмонта, наполнена "иностраннным" воздухом, потому что связь с французской и латинской поэтической традицией была у них теснее, чем с русской. Роднит Брюсова с Бальмонтом и отсутствие тонкой отделки, тонких оттенков и "последнего штриха". Лучшие его стихи великолепны: пурпур и золото; худшие - полная безвкусица.

Как и у большинства русских символистов, стихи Брюсова состоят в основном из "высоких" слов и всегда торжественны и иератичны. В ранних стихах (1894-1896) он

пытался привить России "поющее звучание" Верлена и ранних французских символистов, а также оживить и осовременить "напевы" Фета. Но в целом Брюсов поэт не музыкальный, хотя, как и все русские символисты, часто пользуется словами как эмоциональными жестами, а не как знаками с четким значением. Хотя его поэзия пропитана культурой веков, Брюсов не философский и не "думающий" поэт. Одно время под влиянием Ивана Коневского Брюсов занялся метафизической поэзией, некоторые его стихи в этом роде - чудная риторика, но философии в них мало, больше патетических возгласов и противопоставлений. Язык поэзии Брюсова более сжатый и выразительный, чем у Бальмонта, и иногда он достигает вершин поэтической выразительности, но точности ему не хватает: его слова (иногда замечательные) никогда не бывают "счастливыми находками". Любимые темы Брюсова - размышления о прошлом и будущем человечества, изображение половой любви как мистического ритуала и, как любили говорить двадцать лет назад, - "мистицизм повседневности", то есть описание крупных современных городов как таинственного леса символов. Лучшие стихи Брюсова содержатся в сборниках *Urbi et orbi* (1903) и *Stephanos* (1906). В *Stephanos* входит и замечательный цикл вариаций на вечные темы греческой мифологии (Правда вечная кумиров). Такие стихи, как Ахиллес у алтаря (Ахиллес ждет рокового обручения с Поликсеной), Орфей и Эвридика, Тезей Ариадне - лучшие достижения "классической" стороны русского символизма, стремившейся к иератической возвышенности и символической наполненности.

Проза Брюсова в целом такая же, как и стихи: торжественная, иератическая и академичная. В прозе затрагиваются те же темы: картины прошлого и будущего, таинственные "бездны" любви - часто в самых ее извращенных и ненормальных проявлениях. Как и у стихов, у прозы - явно "переводной с иностранного" вид. Брюсов сам это чувствовал и часто нарочно стилизовал прозу под иностранные образчики прошлых эпох. Один из лучших рассказов Брюсова - *В подземной тюрьме* - написан в стиле новелл итальянского ренессанса. Лучший роман Брюсова - *Огненный ангел* (1907) - рассказывает о немецком купце времен Лютера. Прием стилизации спас прозу Брюсова от "поэтизации" и импрессионистичности. В целом, проза его мужская, прямая, в ней нет манерности. На сюжеты и композицию прозаических сочинений сильно повлиял Эдгар По. Особенно влияние великого южанина чувствуется в подробном документальном описании будущего цивилизации в Республике Южного Креста и в хладнокровном изучении патологических психических состояний в рассказе *Теперь, когда я проснулся*.

Во всей прозе Брюсова есть холодность и жестокость: там нет жалости, нет сострадания, только холодный огонь чувственной экзальтации, желание проникнуть в потаенные уголки человеческой порочности. Но Брюсов не психолог, и его картины чувственности и жестокости всего лишь ярко раскрашенный карнавал. Главное произведение Брюсова в прозе - *Огненный ангел* - лучший, возможно, русский роман на иностранный сюжет. Сюжет - колдовство и суд над ведьмой. Появляются доктор Фауст и Агриппа Неттесгеймский. Роман проникнут подлинным пониманием эпохи и полон "эрудиции", как романы Мережковского, но свободен от наивного мудрствования этого автора и несравнимо занимательнее. В сущности это очень хороший, умело построенный исторический роман. Спокойная манера ландскнехта, в которой он ведет рассказ о страшных и загадочных событиях, свидетелем которых он был, делает роман особенно захватывающим чтением. Второй роман Брюсова - *Алтарь победы* (1913), действие которого развивается в четвертом веке в Риме, гораздо хуже: книга длинная, скучная, лишенная творческого элемента.

## Восстание машин

### ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ \*\*\*-го ВЕКА

#### I

Дорогой друг!

Уступаю твоей настойчивости и приступаю к описанию чудовищных событий, пережитых мною и похоронивших мое счастье. Ты прав: кто своими глазами видел подробности страшной катастрофы, небывалой в летописях мира, и остался после нее в здравом уме, обязан сохранить ее черты для историков будущего времени. Такие свидетельства современников будут драгоценным материалом для исследователей нашей эпохи и, быть может, помогут следующим поколениям уберечь себя от ужасов, выпавших на нашу долю. Поэтому, как ни тягостно мне вспоминать те дни, подобные кошмарному бреду, дни, отнявшие у меня всех, кого я любил, и превратившие меня самого в калеку, я все же буду писать, беспристрастно изображая все, что сам наблюдал и об чем слышал от очевидцев.

Впрочем, если бы не твои убеждения и не соображения, что после трагической борьбы уцелело всего несколько человек, я никогда не принял бы на себя этой ответственной задачи, потому что во многом она мне не по силам. Я едва ли не менее всех других подготовлен к такому предприятию, так как могу рассказывать лишь о внешних явлениях: их смысл и причины недоступны моему пониманию. Все, что я могу обещать, это - воспроизводить, насколько сумею живо и ярко, фантастические происшествия, известные теперь под названием "Восстание машин", и быть правдивым, насколько то возможно для человека, который терял грань между явью и сном и уже не сознавал, что реальность и что призрак. Дать правильное толкование фактам, объяснить их - дело других, более осведомленных и более образованных.

Ты знаешь, что я - рядовой человек своего века, простой обыватель, который честно выполнял свои обязанности на общественной службе и считал, что свое свободное время он вправе посвящать отдыху и удовольствиям. Возвращаясь к себе после трудовых часов, я был счастлив в кругу своей семьи, с женой, моей бедной Марией, с моими двумя детьми, твоим любимцем Андреем и его сестрой, малюткой Анной, и с их бабушкой, моей матерью, старушкой, которую все кругом называли "доброй Елизаветой". Чему я когда-то учился в школе, оставалось у меня в памяти, как что-то очень смутное, и позднее у меня не было ни времени, ни охоты освежать и пополнять свои довольно скудные познания. Пусть науками занимаются, думал я, люди, избравшие себе это поприще, а мы, очередные граждане, свершив свой долг, можем спокойно наслаждаться результатами их работ.

Подобно всем, кто живет в нашу эпоху, я пользовался всеми благами современных машин, но никогда не задумывался над вопросом, как и где они приводятся в движение или каково их устройство. Мне было достаточно, что машины обслуживают нужды мои и моих близких, а чем это достигается, мне было все равно. Мы нажимали определенные кнопки или поворачивали известные рукоятки и получали все, необходимое нам: огонь, тепло, холод, горячую воду, пар, свет и тому подобное. Мы говорили по телефону и слушали в мегафон утреннюю газету или, вечером, какую-нибудь оперу; переговариваясь с друзьями, мы приводили в действие домашний телекинема и радовались, видя лица тех, с кем говорим, или в тот же аппарат любовались иногда балетом; мы подымались в свою квартиру на автоматическом лифте, вызывая его звонком, и так же подымались на крышу, чтобы подышать чистым воздухом... Вне дома я уверенно вспрыгивал в автобус, в вагон метрополитена и империяла или становился на площадку дирижабля; в экстренных случаях я пользовался мотоциклетами и аэропланами; в магазинах охотно передвигался по движущемуся тротуару, в ресторанах - автоматически получал заказанные порции, на службе - пользовался электрической

пишущей машиной, электрическим счетчиком, электрическими комбинаторами и распределителями. Разумеется, нам случалось обращаться к помощи телеграфа, подвесных дорог, дальних телефонов и телескопов, бывать в электро-театрах и фоно-театрах, обращаться в автоматические лечебницы при незначительных заболеваниях и т. д. и т. д. Буквально на каждом шагу, чуть ли не каждую минуту мы обращались к содействию машин, но решительно не интересовались, чем оно обусловлено; только досадовали, когда получали извещение по административному телефону, что тот или другой аппарат временно не будет действовать.

Обращение с машинами, как все знают, просто до крайности. Даже мой маленький Андрей умел различать все кнопки и рукоятки и никогда не ошибался, если надо было прибавить тепла или света, вызвать газету или цирк, остановить лифт или предупредить проходящий мимо автобус. Мне кажется, что у современного человека выработался особый инстинкт в обращении с машинами. Как люди прошлых эпох, не отдавая себе в том отчета, соразмеряли, например, силу размаха, чтобы затворить дверь, мы соответственно нажимаем кнопку и заранее знаем, что дверь захлопнется без шума. Точно так же мы инстинктивно поворачиваем рычажки ровно настолько, чтобы пение оперы было слышно только в одной нашей комнате, или переходим с движущегося тротуара на твердую землю, хотя непривычный человек непременно при этом упал бы. И нам кажется совершенно естественным, что такому-то слабому движению руки, такому-то чуть заметному наклону рукоятки соответствуют определенные следствия. Мы почти верим, что все это совершается "само собою", что это - в природе вещей, как прежде, поджигая спичкой костер, знали, что получают пламя.

Теперь поневоле я стал гораздо осведомленнее: обо многом пришлось подумать, обо многом расспросить, и, наконец, многое я узнал из газет, которые вот уже два месяца не устают передавать всему миру подробности катастрофы. Теперь я знаю (впрочем, знал это и раньше, учил в школе, только основательно позабыл), что вся земля разделена на 84 "машинных района", из которых каждый имеет свою самостоятельную, не зависящую от других, станцию. Каждый такой район делится на дистрикты: в нашем их было 16, и в каждом дистрикте также устроена центральная станция, причем все они связаны между собой. Наконец, дистрикт подразделяется на фемы, с подстанциями в каждом, получающими энергию с центральной станции. В нашем Октополе была расположена именно центральная станция дистрикта, обслуживавшая 146 фем. И если несчастье охватило сравнительно небольшое пространство, это объясняется исключительно тем, что большая часть коммуникаций с фемами была своевременно прервана. Поэтому восстание, начавшееся на центральной станции, потрясло только самый Октополь с окрестностями и около 30 окружных фем, тогда как могло захватить все полтора ста.

Можно ли говорить о плане восстания, его "подготовленности", его "сознательности", - я не знаю. Как ни нелепа подобная мысль, но после всего пережитого мною я более не знаю, что немислимо и что возможно. Машины во время восстания действовали с такой систематичностью, с такой дьявольской логикой, что я готов, несмотря на все насмешки огромного большинства и суровые выговоры со стороны ученых, старающихся образумить безумных "фантастов", - готов допустить, что восстание было если не "обдуманно", то "подготовлено" заранее. Тогда план мятежников окажется совершенно ясен: они начинали восстание не на маленькой подстанции, где значение его оказалось бы сравнительно незначительным, но на центральной станции, чем надеялись привести в смятение целый дистрикт, а потом, может быть, по коммуникациям - и весь район, т. е. огромное пространство, равное одному из прежних государств. Было ли в замыслах мятежников в дальнейшем произвести революцию на всей земле, мне, разумеется, неизвестно.

Остается добавить, - к стыду моему, это я также узнал только теперь после пережитого, из газет и лекций, - что некоторые ученые давно предсказывали

возможность такого мятежа. Оказывается, уже много столетий назад был подмечен параллелизм в явлениях жизни, так называемых - органической и неорганической. Например, рост кристалла аналогичен росту растения и животного; полумы кристаллов заполняются "силами природы" аналогично тому, что происходит при поранениях "живого" тела; жемчуга подвержены болезням; минералы также; металлы имеют предел напряжения и выносливости; проволочные провода "устают", если их принуждают работать слишком много, и отказываются повиноваться; некоторые элементы (или вещества, не знаю, как должно сказать) намагничиваются самопроизвольно; электрические токи при значительной конденсации (опять извиняюсь за, вероятно, неправильный термин) тоже начинают действовать самопроизвольно; все шоферы и пилоты наблюдали, что моторы "капризничают" без всякой внешней причины и т. д. и т. д. Впрочем, все это я знаю столь смутно, что не мне писать об этом: я и так, должно быть, в этих немногих строках много напутал. Повторяю: пусть толкование фактам дают более сведущие; мое дело - рассказывать, что я видел.

К рассказу я и перехожу теперь и даже постараюсь совсем устранить из него всякие объяснения. Оставляю в стороне "почему?" и "зачем?" и буду отвечать лишь на вопрос: "что?" Да и то мои ответы будут касаться лишь весьма небольшого круга событий: предел моих наблюдений был ограничен Октополем, так как за все время катастрофы я не покидал города. Я - маленький человек, пылинка в великом урагане, но ведь из миллиарда пылинок слагается весь ураган, и в моем ограниченном сознании все же умещался весь ужас, потрясший всю землю и даже, как говорят, всю вселенную.

## II

Как началась катастрофа, я ничего не могу рассказать. Теперь известно, что первые грозные явления, так сказать, сигнал к общему восстанию, произошли на Центральной Станции. Но что там свершалось, какое чудовищное зрелище предстало людям, работавшим там, - не расскажет из них никто, потому что все они погибли до последнего. Теперь, по разным догадкам, стараются восстановить адски фантастическую сцену, разыгравшуюся в огромных подземных залах Станции: ливни внезапно вспыхнувших молний, целый потоп электрических разрядов, грохот, подобный миллиону громов, ударивших одновременно, сотни и тысячи людей, - инженеров, помощников, рядовых рабочих, - падающих обугленными, уничтоженными, разорванными в куски или кривляющимися в мучительно-невероятной пляске... Но все это - лишь предположения, и, может быть, все происходило совсем не так. Во всяком случае, я об этом ничего не знаю и ничего не знал в те минуты, скорее - мгновения, когда все это совершалось.

Примечательно, что нас, всю семью, разбудил, как всегда, утренний звонок, поставленный на 7.15. Следовательно, четверть восьмого утра аппараты еще действовали нормально, если только то не было дьявольской хитростью со стороны заговорщиков, не желавших, чтобы раньше времени узнали о начавшемся восстании. Мы зажгли свет, жена поставила на плитку автоматический кофейник, Андрей прибавил тепла в комнатах - и все наши распоряжения исполнялись аккуратно. Или катастрофа произошла несколько минут спустя, или в нашем доме действовал не ток со Станции, а местный аккумулятор, или, повторяю, мятежники коварно скрывали от жителей города истинное положение вещей... За стенами слышался обычный гул моторов и пропеллеров.

Я торопился, так как по пути на службу предполагал навестить своего друга Стефана, который был болен. Не желая терять времени, я попросил бабушку (так все в семье называли мою мать) сказать Стефану по телефону, что буду у него. Старушка взяла трубку городского телефона, поднесла ее к уху, нажала соответствующие цифры на таблице и, наконец, соединительную кнопку... И вдруг произошло нечто, чего мы сразу не могли понять. Бабушка трагически вздрогнула, вся вытянулась, подпрыгнула в кресле и рухнула наземь, выронив телефонную трубку. Мы бросились к упавшей. Она была мертва; это

было несомненно по ее искаженному лицу и по отсутствию дыхания, а ухо, которое она держала у телефона, было прожжено, словно ударом молнии невероятной силы.

Мы глядели друг на друга и с отчаяньем и с удивлением. Конечно, сделаны были попытки привести старушку в чувство, но я сразу увидел, что это бесплодно. "Надо вызвать врача", - сказал я и нагнулся, чтобы поднять телефонную трубку. Но жена бросилась ко мне одним прыжком, схватила меня за руку и закричала решительно: "Нет! Нет! Не трогай телефона! Ты видишь: в нем что-то испортилось! Тебя убьет, как бабушку!" Каким-то инстинктом Мария угадала правду, почти насильно, - так как я возражал и сопротивлялся, - не допустила меня до телефона и тем спасла мне жизнь - увы! напрасно! Много лучше для меня было бы погибнуть тогда, в самом начале ужасов, такой же мгновенной смертью, как моя бедная мать!

После недолгого спора мы решили было, что я немедленно поднимусь в 14-й этаж, где, как мы знали, жил молодой врач. Уже я направился к двери, как внезапно погас во всей квартире свет. Было уже достаточно светло на улице, но все же это явление нас поразило. И опять Мария, с удивительной проницательностью, сразу определила совершающееся. "Что-то испортилось на Станции, - сказала она, - будь осторожен!" Потом она повелительно приказала Андрею не прикасаться более ни к каким кнопкам и рукояткам: чудесная прозорливость женщины, не спасшая, однако, ее самое! А я между тем уже был на площадке. К моему изумлению, там толпилось человек двадцать, встревоженных, взволнованных. Оказалось, что почти в каждой квартире случилось какое-нибудь несчастье: некоторые были убиты, как бабушка, при попытке говорить по телефону, другие получили страшный удар при прикосновении к рычагу телекинемы, третьих обварило вырвавшимся паром, одному заморозило руку из холодильника и т. д. Было ясно, что правильная работа машин нарушилась и что все провода таили теперь опасность.

Обменявшись бессвязными объяснениями, мы решили вызвать лифт. Долго никто не решался дать нужный сигнал. Наконец, какой-то пожилой человек отважился нажать кнопку. Мы смотрели на него со страхом, но он остался невредим. Однако каретка не появлялась: ток не действовал. После некоторого колебания я побежал вверх по лестнице, так как мне надо было пройти только 5 этажей. На всех площадках показывались испуганные лица; меня непрерывно спрашивали, что случилось. Не отвечая, я добежал до квартиры врача и, уже не смея звонить, постучал в дверь кулаком. Доктор открыл мне сам, изумленный дикими стуками, так как я колотил, как сумасшедший. Он еще ничего не знал и выслушал мои сбивчивые объяснения не без сомневающейся улыбки; однако согласился тотчас идти к нам, чтобы оказать помощь бабушке, при этом успокаивал меня, что она, вероятно, лишь в обмороке.

Перед моим приходом доктор был занят какой-то работой в своей маленькой лаборатории, куда я прошел за ним из передней. Теперь, собираясь идти со мной, он хотел, должно быть, что-то герметически закрыть или, наоборот, что-то привести в действие. В точности я не знаю, что именно собирался сделать доктор, только, забыв о моих предостережениях или не обратив на них внимания, он небрежно протянул руку и взялся за какой-то рычажок, чтобы повернуть его. Очевидно, к рабочему столу доктора были приспособлены особые провода, только вдруг, на моих глазах, от рычажка отделилась синеватая искра величиною с добрую веревку и послышался роковой треск - род маленького грома. И доктор рухнул передо мною на ковер, пораженный насмерть этой домашней молнией... Я замер в <на этом текст обрывается>.<sup>65</sup>

---

65 Впервые напечатано: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов. М., Наука, 1976, с. 95 - 99 (публикация Вл. Б. Муравьева по автографу в архиве Брюсова в ГБЛ). Печатается по тексту этого издания. Наиболее вероятно, что Брюсов работал над рассказом в 1908 г.: в относящемся к этому времени перечне замыслов ("Intentions 1908 - 1909") значится тема рассказа "Ожившие машины" (Ильинский А. Литературное наследство Валерия Брюсова. - Литературное наследство, т. 27 - 28. М.,

## В зеркале

### Из архива психиатра

Я зеркала полюбила с самых ранних лет. Я ребенком плакала и дрожала, заглядывая в их прозрачно-правдивую глубину. Моей любимой игрой в детстве было-ходить по комнатам или по саду, неся перед собой зеркало, глядя в его пропасть, каждым шагом переступая край, задыхаясь от ужаса и головокружения. Уже девочкой я начала всю свою комнату уставлять зеркалами, большими и маленькими, верными и чуть-чуть искажающими, отчетливыми и несколько туманными. Я привыкла целые часы, целые дни проводить среди перекрещивающихся миров; входящих один в другой, колеблющихся, исчезающих и возникающих вновь. Моей единственной страстью стало отдавать свое тело этим беззвучным далям, этим перспективам без эхо, этим отдельным вселенным, перерезывающим нашу, существующим, наперекор сознанию, в одно и то же время и в одном и том же месте с ней. Эта вывернутая действительность, отделенная от нас гладкой поверхностью стекла, почему-то недоступная осязанию, влекла меня к себе, притягивала, как бездна, как тайна.

Меня влек к себе и призрак, всегда возникавший предо мной, когда я подходила к зеркалу, странно удваивавший мое существо. Я старалась разгадать, чем та, другая женщина отличается от меня, как может быть, что моя правая рука у нее левая, и что все пальцы этой руки перемещены, хотя именно на одном из них-мое обручальное кольцо. У меня мутились мысли, когда я пыталась вникнуть в эту загадку, разрешить ее. В этом мире, где ко всему можно притронуться, где звучат голоса, жила я, действительная; в том, отраженном мире, который можно только созерцать, была она, призрачная. Она была почти как я, и совсем не я; она повторяла все мои движения, и ни одно из этих движений не совпадало с тем, что делала я. Та, другая, знала то, чего я не могла разгадать, владела тайной, навек сокрытой от моего рассудка.

Но я заметила, что у каждого зеркала есть свой отдельный мир, особенный. Поставьте на одно и то же место, одно за другим, два зеркала-и возникнут две разные вселенные. И в разных зеркалах передо мной являлись призраки разные, все похожие на меня, но никогда не тождественные друг с другом. В моем маленьком ручном зеркальце жила наивная девочка с ясными глазами, напоминавшими мне о моей ранней юности. В круглом будуарном таилась женщина, изведавшая все разнообразные сладости ласк, бесстыдная, свободная, красивая, смелая. В четырехугольной зеркальной дверце шкапа всегда вырастала фигура строгая, властная, холодная, с неумолимым взором. Я знала еще другие мои двойники - в моем трюмо, в складном золоченом триптихе, в висячем зеркале в дубовой раме, в шейном зеркальце и во многих, во многих, хранившихся у меня. Всем существам, таящимся в них, я давала предлог и возможность проявиться. По странным условиям их мира, они должны были принимать образ того, кто становился перед стеклом, но в этой заимствованной внешности сохраняли свои личные черты.

Были миры зеркал, которые я любила; были-которые ненавидела. В некоторые я любила уходить на целые часы, теряясь в их завлекающих просторах. Других я избегала. Свои двойники втайне я не любила все. Я знала, что все они мне враждебны, уже за одно то, что принуждены облекаться в мой, ненавистный им образ. Но некоторых из зеркальных женщин я жалела, прощала им ненависть, относилась к ним почти дружески. Были такие, которых я презирала, над бессильной яростью которых любила смеяться,

---

1937, с. 459 - 460, 465 - 466). Вновь вернулся писатель к этому сюжету в 1915 г., но написал только несколько вводных страниц (набросок "фантастического рассказа" "Мятеж машин" опубликован в кн.: Литературное наследство, т. 85, с. 100 - 103).

которых дразнила своей самостоятельностью и мучила своей властью над ними. Были, напротив, и такие, которых я боялась, которые были слишком сильны и осмеливались в свой черед смеяться надо мной, приказывали мне. От зеркал, где жили эти женщины, я спешила освободиться, в такие зеркала не смотрелась, прятала их, отдавала, даже разбивала. Но после каждого разбитого зеркала я не могла не рыдать целыми днями, сознавая, что разрушила отдельную вселенную. И укоряющие лики погубленного мира смотрели на меня укоризненно из осколков.

Зеркало, ставшее для меня роковым, я купила осенью, на какой-то распродаже. То было большое, качающееся на винтах, трюмо. Оно меня поразило необычайной ясностью изображений. Призрачная действительность в нем изменялась при малейшем наклоне стекла, но была самостоятельна и жизненна до предела. Когда я рассматривала это трюмо на аукционе, женщина, изображавшая в нем меня, смотрела в глаза мне с каким-то надменным вызовом. Я не захотела уступить ей, показать, что она испугала меня,- купила трюмо и велела поставить его у себя в будуаре. Оставшись в своей комнате одна, я тотчас подступила к новому зеркалу и вперила глаза в свою соперницу. Но она сделала то же, и, стоя друг против друга, мы стали пронизывать одна другую взглядом, как змеи. В ее зрачках отражалась я, в моих-она. У меня замерло сердце и закружилась голова от этого пристального взгляда. Но усилием воли я, наконец, оторвала глаза от чужих глаз, ногой толкнула зеркало, так что оно закачалось, жалостно колыхая призрак моей соперницы, и вышла из комнаты. С этого часа и началась наша борьба. Вечером, в первый день нашей встречи, я не осмелилась приблизиться к новому трюмо, была с мужем в театре, преувеличенно смеялась и казалась веселой. На другой день, при ясном свете сентябрьского дня, я смело вошла в свой будуар одна и нарочно села прямо против зеркала. В то же мгновение та, другая, тоже вошла в дверь, идя мне навстречу, перешла комнату и тоже села против меня. Глаза наши встретились. Я в ее глазах прочла ненависть ко мне, она в моих - к ней. Начался наш второй поединок, поединок глаз, Двух неотступных взоров, повелевающих, угрожающих, гипнотизирующих. Каждая из нас старалась завладеть волей соперницы, сломить ее сопротивление, заставить ее подчиняться своим хотениям. И страшно было бы со стороны увидеть двух женщин, неподвижно сидящих друг против друга, связанных магическим влиянием взора, почти теряющих сознание от психического напряжения... Вдруг меня позвали. Обаяние исчезло. Я встала, вышла.

После того поединки стали возобновляться каждый день. Я поняла, что эта авантюристка нарочно вторглась в мой дом, чтобы погубить меня и занять в нашем мире мое место.

Но отказаться от борьбы у меня не доставало сил. В этом соперничестве было какое-то скрытое упоение. В самой возможности поражения таился какой-то сладкий соблазн. Иногда я заставляла себя по целым дням не подходить к трюмо, занимала себя делами, развлечениями,- но в глубине моей души всегда таилась память о сопернице, которая терпеливо и самоуверенно ждала моего возвращения к ней. Я возвращалась, и она выступала передо мной, более торжествующая, чем прежде, пронизывала меня победным взором и приковывала меня к месту перед собой. Мое сердце останавливалось, и я, с бессильной яростью, чувствовала себя во власти этого взора... Так проходили дни и недели; наша борьба длилась; но перевес все определеннее сказывался на стороне моей соперницы. И вдруг, однажды, я поняла, что моя воля подчинена ее воле, что она уже сильнее меня. Меня охватил ужас. Первым моим движением было-убежать из моего дома, уехать в другой город; но тотчас я увидела, что то было бы бесполезно: покорная притягательной силе вражеской воли, я все равно вернулась бы сюда, в эту комнату, к своему зеркалу. Тогда явилась вторая мысль-разбить зеркало, обратить мою соперницу в ничто; но победить ее грубым насилием значило признать ее превосходство над собой: это было бы унижительно. Я предпочла остаться, чтобы довести начатую борьбу до конца, хотя бы мне и грозило поражение.

Скоро уже не было сомнений, что моя соперница торжествует. С каждой встречей все больше и больше власти надо мной сосредоточивалось в ее взгляде. Понемногу я утратила возможность за день не подойти ни разу к моему зеркалу. Она приказывала мне ежедневно проводить перед собой по несколько часов. Она управляла моей волей, как магнетизер волей сомнамбулы. Она распоряжалась моей жизнью, как госпожа жизнью рабы. Я стала исполнять то, что она требовала, я стала автоматом ее молчаливых повелений. Я знала, что она обдуманно, осторожно, но неизбежным путем ведет меня к гибели, и уже не сопротивлялась. Я разгадала ее тайный план: вбросить меня в мир зеркала, а самой выйти из него в наш мир,- но у меня не было сил помешать ей. Мой муж, мои родные, видя, что я провожу целые часы, целые дни и целые ночи перед зеркалом, считали меня помешавшейся, хотели лечить меня. А я не смела открыть им истины, мне было запрещено рассказать им всю страшную правду, весь ужас, к которому я шла.

Днем гибели оказался один из декабрьских дней, перед праздниками. Помню все ясно, все подробно, все отчетливо: ничего не спуталось в моих воспоминаниях. Я, по обыкновению, ушла в свой будуар рано, в самом начале зимних сумерек. Я поставила перед зеркалом мягкое кресло без спинки, села и отдалась ей. Она без замедления явилась на зов, тоже поставила кресло, тоже села и стала смотреть на меня. Темные предчувствия томили мою душу, но я не властна была опустить свое лицо и должна была принимать в себя наглый взгляд соперницы. Проходили часы, налегали тени. Никто из нас двух не зажег огня. Стекло слабо блестело в темноте. Изображения были уже едва видимы, но самоуверенные глаза смотрели с прежней силой. Я не чувствовала злобы или ужаса, как в другие дни, но только неутолимую тоску и горечь сознания, что я во власти другого. Время плыло, и я уплывала с ним в бесконечность, в черный простор бессилия и безволия.

Вдруг она, та, отраженная,- встала с кресла. Я вся задрожала от оскорбления. Но что-то непобедимое, что-то принуждавшее меня извне заставило встать и меня. Женщина в зеркале сделала шаг вперед. Я тоже. Женщина в зеркале простерла руки. Я тоже. Смотря все прямо на меня гипнотизирующими и повелительными глазами, она все подвигалась вперед, а я шла ей навстречу. И странно: при всем ужасе моего положения, при всей моей ненависти к моей сопернице, где-то в глубине моей души трепетало жуткое утешение, затаенная радость - войти, наконец, в этот таинственный мир, в который я всматривалась с детства и который до сих пор оставался недоступным для меня. Мгновениями я почти не знала, кто кого влечет к себе: она меня, или я ее, она ли жаждет моего места, или я задумала вей эту борьбу, чтобы заместить ее.

Но когда, подвигаясь вперед, мои руки коснулись у стекла ее рук, я вся помертвела от омерзения. А она властно взяла меня за руки и уже силой повлекла к себе. Мои руки погрузились в зеркало, словно в огненно-студеную воду. Холод стекла проник в мое тело с ужасающей болью, словно все атомы моего существа переменили свое взаимоотношение. Еще через мгновение я лицом коснулась лица моей соперницы, видела ее глаза перед самыми моими глазами, слилась с ней в чудовищном поцелуе. Все исчезло в мучительном страдании, несравнимом ни с чем,- и, очнувшись из этого обморока, я уже увидела перед собой свой будуар, на который смотрела из зеркала. Моя соперница стояла передо мной и хохотала. А я-о жестокость!- я, которая умирала от муки и унижения, я должна была смеяться тоже, повторяя все ее гримасы, торжествующим и радостным смехом. И не успела я еще осмыслить своего состояния, как моя соперница вдруг повернулась, пошла к дверям, исчезла из моих глаз, и я вдруг впала в оцепенение, в небытие.

После этого началась моя жизнь как отражения. Странная, полусознательная, хотя тайносластная жизнь. Нас было много в этом зеркале, темных душ, дремлющих сознаний. Мы не могли говорить одна с другой, но чувствовали близость, любили друг друга. Мы ничего не видели, слышали смутно, и наше бытие было подобно изнеможению от невозможности дышать. Только когда существо из мира людей

подходило к зеркалу, мы, внезапно восприняв его облик, могли взглянуть в мир, различить голоса, вздохнуть всей грудью. Я думаю, что такова жизнь мертвых - неясное сознание своего "я", смутная память о прошлом и томительная жажда хотя бы на миг воплотиться вновь, увидеть, услышать, сказать... И каждый из нас таил и лелеял заветную мечту освободиться, найти себе новое тело, уйти в мир постоянства и незыблемости.

Первые дни я чувствовала себя совершенно несчастной в своем новом положении. Я еще ничего не знала, ничего не умела. Покорно и бессмысленно принимала я образ моей соперницы, когда она приближалась к зеркалу и начинала насмехаться надо мной. А она делала это довольно часто. Ей доставляло великое наслаждение щеголять передо мной своей жизненностью, своей реальностью. Она садилась и заставляла сесть меня, вставала и ликовала, видя, что я встала, размахивала руками, танцевала, принуждала меня удваивать ее движения и хохотала, хохотала, чтобы хохотала и я. Она кричала мне в лицо обидные слова, а я не могла отвечать ей. Она грозила мне кулаком и издевалась над моим обязательным повторным жестом. Она поворачивалась ко мне спиной, и я, теряя зрение, теряя лик, сознавала всю постыдность оставленного мне половинного существования... И потом, вдруг, она одним ударом перевертывала зеркало вокруг оси и с размаха бросала меня в полное небытие.

Однако понемногу оскорбления и унижения пробудили во мне сознание. Я поняла, что моя соперница теперь живет моей жизнью, пользуется моими туалетами, считается женой моего мужа, занимает в свете мое место. Чувство ненависти и жажда мести выросли тогда в моей душе, как два огненных цветка. Я стала горько клясть себя за то, что по слабости или по преступному любопытству дала победить себя. Я пришла к уверенности, что никогда эта авантюристка не восторжествовала бы надо мной, если бы я сама не помогала ей в ее кознях. И вот, освоившись несколько с условиями моего нового бытия, я решилась поведи с ней ту же борьбу, какую она вела со мной. Если она, тень, сумела занять место действительной женщины, неужели же я, человек, лишь временно ставший тенью, не буду сильнее призрака?

Я начала очень издали. Сперва я стала притворяться, что насмешки моей соперницы мучат меня все нестерпимей. Я доставляла ей нарочно все наслаждения победы. Я дразнила в ней тайные инстинкты палача, прикидываясь изнемогающей жертвой. Она поддалась на эту приманку. Она увлеклась этой игрой со мной. Она расточала свое воображение, выдумывая новые пытки для меня. Она изобретала тысячи хитростей, чтобы еще и еще раз показать мне, что я-лишь отражение, что своей жизни у меня нет. То она играла передо мной на рояли, муча меня беззвучностью моего мира. То она, сидя перед зеркалом, глотала маленькими глотками мои любимые ликеры, заставляя меня только делать вид, что я тоже их пью. То, наконец, приводила в мой будуар людей мне ненавистных и перед моим лицом отдавала им целовать свое тело, позволяя им думать, что они целуют меня. И после, оставшись наедине со мной, она хохотала злорадным и торжествующим смехом. Но этот хохот уже не уязвлял меня; на его острие была сладость: мое ожидание мести!

Незаметно, в часы ее надругательств надо мной, я приучала мою соперницу смотреть мне в глаза, овладевала постепенно ее взором. Скоро по своей воле я уже могла заставлять ее поднимать и опускать веки, делать то или иное движение лицом. Торжествовать уже начинала я, хотя и скрывала свое чувство под личиной страдания. Сила души возрастала во мне, и я осмеливалась приказывать моему врагу: сегодня ты сделаешь то-то, сегодня ты поедешь туда-то, завтра придешь ко мне тогда-то. И она исполняла! Я опутывала ее душу сетями своих хотений, сплетала твердую нить, на которой держала ее волю, ликовала втайне, отмечая свои успехи. Когда она однажды, в час своего хохота, вдруг уловила на моих губах победную усмешку, которой я не могла скрыть, было уже поздно. О нас яростью выбежала тогда из комнаты, но я, впадая в сон своего небытия, знала, что она вернется, знала, что она подчинится мне! И восторг победы реял над моим безвольным бессилием, радужным веером прорезал мрак моей мнимой смерти.

Она вернулась! Она пришла ко мне в гневе и страхе, кричала на меня, грозила мне. А я ей приказывала. И она должна была повиноваться. Началась игра кошки с мышью. В любой час я могла вбросить ее вновь в глубь стекла и выйти вновь в звонкую и твердую действительность. Она знала, что это-в моей воле, и такое сознание мучило ее вдвое. Но я медлила. Мне было сладостно нежиться порой в небытии. Мне было сладостно упиваться возможностью. Наконец (это странно, не правда ли?), во мне вдруг пробудилась жалость к моей сопернице, к моему врагу, к моему палачу. Все же в ней было что-то мое, и мне страшно было вырвать ее из яви жизни и обратить в призрак. Я колебалась и не смела, я давала отсрочки день за днем, я сама не знала, чего я хочу и что меня ужасает.

И вдруг, в ясный весенний день, в будуар вошли люди с досками и топорами. Во мне не было жизни, я лежала в сладострастном оцепенении, но, не видя, поняла, что они здесь. Люди стали хлопотать около зеркала, которое было моей вселенной. И одна за другой души, населявшие ее вместе со мной, пробуждались и принимали призрачную плоть в форме отражений. Страшное беспокойство заколебало мою сонную душу. Предчувствуя ужас, предчувствуя уже непоправимую гибель, я собрала всю мощь своей воли. Каких усилий стоило мне бороться с истомой полубытия! Так живые люди борются иногда с кошмаром, вырываясь из его душащих уз к действительности.

Я сосредоточивала все силы своего внушения на зове, устремленном к ней, к моей сопернице: "Приди сюда!" Я гипнотизировала, магнетизировала ее всем напряжением своей полусонной воли. А времени было мало. Зеркало уже качали. Уже готовились забивать его в дощатый гроб, чтобы везти: куда - неизвестно. И вот, почти в смертельном порыве, я позвала вновь и вновь: "Приди!.." И вдруг почувствовала, что оживаю. О и а, мой враг, отворила дверь и, бледная, полумертвая, шла навстречу мне, на мой зов, упирающимся шагами, как идут на казнь. Я схватила в свои глаза ее глаза, связала свой взор с ее взором и после этого уже знала, что победа за мной.

Я тотчас заставила ее выслать людей из комнаты. Она подчинилась, не сделав даже попытки сопротивляться. Мы вновь были вдвоем. Медлить было больше нельзя. Да и не могла я простить ей коварства. На ее месте, в свое время, я поступала иначе. Теперь я безжалостно приказала ей идти мне навстречу. Стон муки открывал ее губы, глаза расширились, как перед призраком, но она шла, шатаясь, падая,- шла. Я тоже шла навстречу ей, с губами, искривленными торжеством, с глазами, широко открытыми от радости, шатаясь от пьянящего восторга. Снова соприкоснулись наши руки, снова сблизилась наши губы, и мы упали одна в другую, сжигаемые невыразимой болью перевоплощения. Через миг я была уже перед зеркалом, грудь моя наполнилась воздухом, я вскрикнула громко и победно и упала здесь же, перед трюмо, ниц от изнеможения.

Ко мне вбежали мой муж, люди. Я только могла проговорить, чтобы исполнили мой прежний приказ, чтобы унесли из дому, прочь, совсем, это зеркало. Это было умно придумано, не правда ли? Ведь та, другая, могла воспользоваться моей слабостью в первые минуты моего возвращения к жизни и отчаянным натиском попытаться вырвать у меня из рук победу. Отсылая зеркало из дому, я на долгое, на любое время обеспечивала себе спокойствие, а соперница моя заслуживала такое наказание за свое коварство. Я ее поражала ее собственным оружием, клинком, который она сама подняла на меня.

Отдав приказание, я лишилась чувств. Меня уложили в постель. Позвали врача. Со мной сделалась от всего пережитого нервная горячка. Близкие уже давно считали меня больной, ненормальной. В первом порыве ликования я не остереглась и рассказала им все, что со мной было. Мои рассказы только подтвердили их подозрения. Меня перевезли в психиатрическую лечебницу, где я нахожусь и теперь. Все мое существо, я согласна, еще глубоко потрясено. Но я не хочу оставаться здесь. Я жажду вернуться к радостям жизни, ко всем бесчисленным утехам, которые доступны живому человеку. Слишком долго я была лишена их.

Кроме того,- сказать ли?- у меня есть одно дело, которое мне необходимо совершить как можно скорее. Я не должна сомневаться, что я это - я. И все же, когда я начинаю думать о той, заточенной в моем зеркале, меня начинает охватывать странное колебание: а что, если подлинная я-там? Тогда я сама, я, думающая это, я, которая пишу это, я-тень, я-призрак, я-отражение. В меня лишь перелились воспоминания, мысли и чувства той, другой меня, той, настоящей. А в действительности я брошена в глубине зеркала в небытие, томлюсь, изнемогая, умираю. Я знаю, я почти знаю, что это неправда. Но, чтобы рассеять последние облачка сомнений, я должна вновь, еще раз, в последний раз, увидеть то зеркало. Мне надо посмотреть в него еще раз, чтобы убедиться, что там - самозванка, мой враг, игравший мою роль в течение нескольких месяцев. Я увижу это, и все смятение моей души минет, и я буду вновь беспечной, ясной, счастливой. Где это зеркало, где я его найду? Я должна, я должна еще раз заглянуть в его глубь!..

## Царю Северного полюса

### *Вступления*

#### 1

Много было песен сложено  
О твоей стране бесследной.  
Что возможно, невозможно, --  
Было все мечтой изведано.

К этой грани недоступной  
Шли безумные, отважные,  
Но их замыслы преступные  
Погасали в бездне влажной.

Эти страны неизвестные  
Открывали дали сказкам...  
Тем, кому в пределах тесно,  
Эти сказки были ласками.

#### 2

Если был победитель, тебя развенчавший, о Полюс,  
Имя его отошло в тихую тайну веков.  
Люди наших дней не победы ищут, а славы;  
Сладок им не венец, - рукоплесканья венцу.  
О, великая сладость - узнав, утаить от вселенной!  
Мне довольно знать, - что я свершил, - одному.

## I

Свен Краснозубый врагам улыбался, бурь не боялся,  
Викинг великий, кликнул он клич по Норвегии.

Собрались бойцы могучие:  
Эрик, вскормленный тучами,  
Анунд, прославленный скальдами,  
Горм с сыновьями, с двумя Освальдами,  
С ними со всеми сорок дружинников.  
Не долго бойцы собирались,  
На корабль садились, - смеялись.  
Навсегда с друзьями прощались.  
Жена поплачет - утешится,

Друг погрузит - другого найдет,  
Старуха-мать все равно умрет.  
Плыть все вдаль --  
Не печаль.  
Где волна,  
Там весна.  
Есть топор, --  
Будет свор!  
Бой в руке держу!  
Если ж скальда нет,  
Песнь и сам сложу  
В честь побед!

## II

Скрылся в налете тумана Скрелингов остров, земля;  
Дрожью святой Океана зыблется дрожь корабля.  
Море, и небо, и море - к Северу путь без границ;  
Дико звучат на просторе крики чудовищных птиц.  
Медленно ходят по воле первые дерзкие льды. --  
Викингам любо раздолье, дали холодной воды.

Любит безвестности Эрик, далью захвачен варяг  
(Где-нибудь выглянет берег, где-нибудь встретится враг!).  
Знает он все побережья, всюду рубиться был рад:  
С Русью ходил в Обонежье, плавал по рекам в Царь-град,  
Грабил соборы Севильи, видел останки Афин...

Парус, развейся, как крылья! челн, полети, как дельфин!

Анунд, скиталец угрюмый, смотрит на зыби зыбей.  
Вольно ширяется дума в волнах, как птица морей.  
Истинный викинг ни ночи в хижине дымной не спит,  
Истинный викинг не хочет на ночь повесить свой щит;  
Пенистый рог не веселье пить среди женщин и дев;  
В челнах - всегда новоселье, в волнах - не молкнет напев.

Горм распахнул свою шубу, вновь он доволен судьбой:  
Скоро заслышит он трубы, трубы, зовущие в бой.  
Выйдет старик, как берсеркер, душу потешит в бою...  
Дуй, куда вздумаешь, ветер! мчи, куда хочешь, ладью!  
С кем бы ни бой, что за дело! Горм жаждет биться сплеча!  
Страшно в жилище у Гелы, жданная смерть - от меча.

К Северу взором прикован, Свен не уйдет от руля.  
Зовом мечты зачарован, правит он бег корабля.  
Скоро во мраке засветит полночи чара - Звезда;  
Свен, весь дрожа, ей ответит, верен он ей навсегда.  
Товарищам лучшая доля - битвы и крики врагов,  
Но властная воля стремится их в области ночи и льдов.  
Затмился налетом тумана Скрелингов остров, земля;  
Дрожью святой Океана зыблется дрожь корабля.

### III

Пышны северные зимы, шестимесячные ночи!  
Льды застыли, недвижимы, в бахrome из снежных клочий.  
Волны дерзкие не встанут, гребни их в снегу затихли,  
Ураган морской, обманут, обо льды стучится в вихре.  
Чаще царствует молчанье, сон в торжественной пустыне;  
Мир без грез, без содроганья, в полутьме немеет, стынет.

Совершая путь урочный, круг вокруг Царицы Ночи,  
Звезд девичник непорочный водит пламенные очи.  
Им во льдах зеркальных снятся - двойники, земные сестры,  
На снегах они дробятся, словно луч цветной и пестрый.  
Ослепляя блеском горы, между них в потоке звездном,  
Вдруг спадают метеоры, торопясь от бездны к безднам.

Часто, звездный блеск смиряя, расстилаясь, будто знамя,  
В небе с края и до края пламя движется столбами.  
Нет им грани, очертанья: в смене рдяных освещений

Царь полярного сиянья гонит сумрачные тени,  
Создает деревья, травы, высылает птиц чудесных, --  
Сам смеется на забавы, - царь в неизвестностях небесных.

А когда застонет буря, снег подымет, как тучи;  
Брови белые нахмуря, Один ринется могучий.  
Дев-валькирий вереницы заторопят черных коней,  
Будут крики без границы, будет стук мечей о брони,  
Будет скачка, пляска, бубны, будет бой в безумном вое...  
Из могил на голос трубный встанут древние герои.

Пышны северные зимы, хороши морозом жгучим!  
Дни проходят, словно дымы, дни подобны снежным тучам.  
Поспешай на быстрых лыжах, взор вперяя в след олений,  
Жди моржей космато-рыжих, бей раскидистых тюленей,  
Встреть уверенной острой хмурых медленных медведей, --  
Смейся, смейся над тревогой, в песнях думай о победе!  
Пышны северные зимы, образ будущей Валгаллы!  
Дни проходят, словно дымы, время вечность оковала.

#### *IV* *Песня Свена*

"Одна на полюсе небесном  
Царит бессменная Звезда,  
Манит к пределам неизвестным,  
Снов не обманет никогда.

В круговращеньи вольно-смелом  
Летит над нами небосвод:  
Она в восторге онемелом  
Из праха к горнему влечет.

Я схвачен беспощадным зовом,  
Как парус ветром, - увлечен;  
Жених невесте верен словом,  
С Звездой небес я обручен.

Ах, знаю! мощь в руке все та же,  
Мой взор пронзителен и смел,  
Я б побороться с силой вражей  
Как в годы подвигов сумел.

Но, верен высшему запрету,

Страстей волну я перевозмог.  
Так! путник я, идущий к свету,  
Я - вестник, ставший на порог.

Друзья, друзья! взметайте чаши!  
Над снежной кровлей блещет твердь.  
Нет, не солгали клятвы наши:  
Я вас туда влеку, где смерть!"

---

И плыли они над холодной водой,  
И ветры по снастям свистели;  
Зима надвигалась грозой ледяной,  
Приветствия ей они пели.

Их легкие челны томились в плену,  
Но, дерзкие, в хижине дымной,  
Пируя, они величали весну,  
С метелью спевались их гимны.

И ветер весенний вздувал паруса,  
И кони морские, все в пене,  
Бросались в пучину, зажмурив глаза,  
За брызгами пряча колени.

И плыли, и пели, в метели, в грозе,  
Морской возрастающей степью,  
Вождю-предводителю верные все,  
С ним связаны клятвенной цепью.

И много могил, неоплаканых тел  
Корабль в безывестности бросил,  
Но что им за дело! ведь парус их цел,  
Есть копыя для боя, есть руки для весел!

✓

Пойте печальные песни,  
Ветер, месяц, туман!  
Плачьте на Полюсе вечном,  
Дети пламенных стран.  
Волны идут издалека,  
Ветер свистит одиноко,  
Месяца тусклое око

Всюду глядит в Океан.  
Пойте на Полюсе вечном  
О торжестве скоротечном,  
Дети пламенных стран.

Плачьте на ранней могиле,  
Где Эрик-скиталец зарыт;  
Мечты его дальше стремили,  
На пути он выронил щит.

В скале, в причудливом гроте,  
Горма покоится прах;  
Он погиб на веселой охоте,  
Умер с острогой в руках.

Освальды, ободря друг друга,  
В непогоду пошли за моржом;  
И засыпала шумная выюга  
Братьев в объятых вдвоем.

Любя бушевание влаги,  
Любовались бойцы на шквал;  
Утром сочлись варяги, --  
Анунда никто не видал.

И погибли все сорок, все сорок!  
Спят под водой и во льдах,  
Но Тор, кому храбрый дорог,  
Их примет в своих полях.

Славьте на Полюсе вечном,  
Павших в упорной борьбе,  
Глядевших в лицо судьбе,  
Погибших в молчаньи беспечном,

Славьте на Полюсе вечном,  
Волны, месяц, туман!  
Пойте хвалебные песни,  
Дети пламенных стран!

## *VI*

Тени ходят, ветер веет,  
Океан о камни бьет,

И замедлить жизнь не смеет  
Свой развернутый полет.

Часть морей купая в зное,  
Часть прохладам удел я,  
Ни на миг не спит в покое  
Солнцу верная Земля.

Солнце, искра в сонмах млечных,  
Увлекает путь слуги.  
Пики гор остроконечных  
Чертят бешено круги.

Без предела, без начала  
Этот бег вперед, вперед!  
Вечность в прошлом миновала,  
Вечность нынче настает.

И только один лишь утес недвижимо  
На Север подъемлет чело.  
Вы, ветры, его обтекаете мимо,  
Ты, время, встревожить его не могло.

Когда-то взглянул он восторженным оком  
На мертвую прелесть Полярной звезды,  
И долго смотрел, и во сне одиноком  
Он замер, застыл, оковался во льды.

Пронизан восторгом, с тех пор неизменно  
Века он следит за избранной Звездой.  
Смеется Звезда, как царица вселенной,  
И вокруг нее сестры идут чередой.

Кто нарушил мир заветный,  
Тишину великих вод,  
И вступил в приют запретный,  
И упал на вечный лед?

На снегах, в степях бесплодных,  
Сон друзей его глубок...  
Произволу волн свободных  
Предоставил он челнок.

Тот челнок лежит разбитый,  
Кончен дерзкий переезд.  
Словно в храмине открытой,

Свен следит за бегом звезд.

Их стремится вереница,  
Но над ним - в ответ мечте --  
Стала Севера царица  
Прямо, в ясной высоте.

Сердце большего не просит,  
К цели жизни Свен проник.  
Так. Звезда сиянье бросит  
На его померкший лик.

## *VII*

### *Голоса Стихий*

#### **Земля**

Я - Земля, я - косность мира,  
Сотворила горы, скалы,  
Твердь гранита и порфира,  
Грани малого кристалла.

Я дала приюты тучам,  
На груди подъяла море,  
Я полна огнем текучим...  
Кто со мной, с могучей, в споре?

Сестры, братья! славьте Землю!  
Славьте косность и пределы!  
Все держу я, все объемлю,  
Вас родню, - и мной вы целы!

#### **Вода**

Я - Вода. Я в вечной смене.  
В дрожи долгой не устала...  
Корни тянутся растений,  
Стадо к речке побежало.

Жизнь воды многообразна:  
Петь ручьем, летать туманом,  
Зацветать в озерах праздно,  
Выть и биться океаном.

Сестры, братья! славьте воды!

Славьте жизнь и переливы!  
Я - движение Природы,  
Вас влеку, - и мной вы живы.

### **Огонь**

Я - Огонь. Мой лик случаен,  
Вольной прихоти послушен.  
Целый мир не мной ли спаян?  
Мною будет мир разрушен!

Я ползу. Я дик и злобен;  
Спать умею в камне малом;  
Лгать, притворствоваться способен,  
Но встаю до неба жалом.

Сестры, братья! славьте пламя  
(Очи блещут, очи красны)!  
Я - над миром битвы знамя,  
Вас гублю, но мной вы властны.

### **Воздух**

Воздух я, незрим, неслышен,  
Я проник в глубины скважин.  
Но огонь не мной ли пышен?  
Я водой дышу - и влажен.

Я ласкаю розы мая;  
В буре вею, беспощаден;  
Землю вздохом обтекая,  
В голубом плаще наряжен.

Славьте воздух! сестры, братья!  
Облака меня колышат,  
Горы принял я в объятья,  
Всех люблю, - все мною дышат.

### **Все вместе**

Если к тайне заповеданной  
Взор, единой думе преданный,  
С дерзкой радостью проник, --  
Не покинем мы беспечности:  
Было то однажды в вечности,  
Было - лишь на беглый миг.

Но да будет он единственный!  
Этот день, как сон таинственный,  
Скроем мы в святую тьму.  
Мы засыплем гроб неведомый.  
Слишком громкими победами  
Не гордиться никому!

Мы даем обет молчания.  
Мы задвинем край изгнания  
Бездной вихрей и пучин.  
И о том, что тайны видены,  
Что прошел ты путь неиденный,  
Будешь знать лишь ты один.

### **Земля**

Даю обет молчания;  
От века я молчу.

### **Вода**

Я знаю; только знания  
В мгновенной смене мчу.

### **Огонь**

Я - ложь. Твержу неверное,  
Не знаю истин я.

### **Воздух**

Мое движенье мерное --  
Безмолвная струя.

## ***VIII***

Свен Краснозубый, на Полюсе диком  
Ты встретил смиряющий сон.  
Снова кругом всё в молчаньи великом,  
Ясен и тих небосклон.  
На конях свободных, бурных  
От высот своих лазурных  
Под военные напевы

И к тебе слетели девы.  
Ты достоин чести бранной,  
Ты - валькирий гость желанный.  
На тебя из той страны  
Благосклонно смотрят деды:  
Ты погиб не в день войны, --  
В день победы!

Встретишь ты в полях Валгаллы  
Всех, кому был в жизни люб.  
Ты войдешь, пловец усталый,  
Под веселый голос труб.

Там, с семьей других героев,  
Уготован, ждет приют.  
Все для игр и славных боев  
Дни бестенные найдут.

Может быть, где отдых сладок,  
Обретет душа твоя  
Мир от тягостных загадок,  
Вечных в бездне бытия.

## ***IX***

### **Голос**

Я вам принес благовую весть,  
Мечты былых веков:  
Что в мире много истин есть,  
Как много дум и слов.

Противоречий сладких сеть  
Связует странно всех:  
Равно и жить и умереть,  
Равны Любовь и Грех.

От дней земли стремись в эфир,  
Следи за веком век:  
О, как ничтожен будет мир,  
Как жалок человек!

Но, вздрогнув, как от страшных снов,  
Пойми - все тайны в нас!  
Где думы нет - там нет веков,

Там только свет - где глаз.

Стихий бессильна похвальба,  
То - мрак души земной.  
К победе близится борьба, --  
Дышу, дышу весной!

И что в былом свершилось раз,  
Тому забвенья нет.  
Пойми - весь мир, все тайны в нас,  
В нас Сумрак и Рассвет.

1898 - 1900

## Велимир Хлебников

**Об авторе:**

### В. Шершеневич

#### ХЛЕБНИКОВ<sup>66</sup>

*На Бронной у Бурлюков я встретил неслышного человека, который говорил и читал стихи тише, чем это нужно, чтоб их нельзя было расслышать. Тишина не прерывалась, она даже росла. Звука не было, только шевелились губы. Стихи были непонятные, но полные исканий и задора, хотя немного нарочитые. Это был Виктор, он же Велимир, Хлебников.*

*Меня судьба столкнула с ним в первый раз в эпизоде, который сразу и целиком обрисовал всего Хлебникова.*

*Денег у него не было никогда. Несколько дней он голодал. Наконец мы ему собрали кой-какие деньги, и Хлебников пошел покушать и хоть слегка экипироваться, потому что к внешнему виду питал он изумительную небрежность. Он мог годами не переодеваться и не мыться. Он умывался показательно. Умывание Хлебникова надо было бы демонстрировать в школах детям, чтоб те знали, как не надо умываться.*

*Он наливал с большой опаской на совершенно выпрямленные ладони воду и мог часами наблюдать, как вода стекает обратно. Что он решал в эти минуты -- неизвестно. Наконец он решительно черпал воду, подносил ее к лицу и в последний момент разжимал руки, так что вода выливалась обратно, не коснувшись лица. Хлебников долго тер полотенцем, а если его не было, то чем попало, сухое лицо. Иногда он даже причесывался; его лицо выражало при этом неопишное страданье и удивление.*

*Я наблюдал уже после революции, что так же бессмысленно ел мясо один мальчик в деревне. Он рвал руками мясо на куски на тарелке, потом брал кусок пальцами, надевал его на вилку, торжественно нес вилку ко рту, тут снимал мясо опять пальцами и уже пальцами всовывал его в рот. Он был искренне изумлен, когда я ему показал, как надо обращаться с вилкой. Мой способ ему понравился меньше своего.*

*Получив деньги, Хлебников пошел и купил хороший портсигар. На еду и на одежду денег не осталось. Кстати, я не помню: курил ли он вообще?*

---

66 Воспроизведено по: Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., Моск. рабочий. 1990г. стр 520 -- 522

*Однажды он пришел ко мне (это было единственное его посещение моего дома) в три часа ночи, долго и безмолвно глядя на швейцара, который не хотел пускать в подъезд незнакомого человека довольно странного вида. Вот почти текстуально весь разговор, который произошел между нами и для которого пришел впервые ко мне ночью Хлебников:*

*-- Вы уже спали?*

*-- Спал.*

*Длинная пауза. Хлебников смотрит в пространство своими невидящими глазами. Так смотрят слепые, у которых не закрыты глаза и нет бельма.*

*-- Знаете ли вы, что Вадим означает по-индийски "туман"?*

*-- Знаю.*

*Вторая пауза, еще более продолжительная, чем первая.*

*-- Я думаю, что сегодня напишу поэму. Прощайте!*

*Резкий поворот -- и Пума, как его звали друзья, быстро уходит. Дверь на парадное распахнута. Хлебников делает полный оборот и говорит в упор:*

*-- Войны должны быть кратковременны и малочисленны Должны драться на дотиках военачальники, а народ в это время должен готовить пир в честь победителя. Несогласных надо переселить с Земли на иную планету. Я подумаю.*

*И с этими словами Хлебников исчез. Наутро по лицу швейцара я понял, что в этом доме я потерял всякий престиж. Оказывается, что Хлебников просидел около швейцарской часа два-три и рассказывал швейцару, как отличать счастливые цифры лет от несчастных.*

## **ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ**

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,

О, засмейтесь усмеяльно!

О, рассмешищ надсмеяльных - смех усмейных смехачей!

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!

Смейево, смейево!

Усмей, осмей, смешики, смешики!

Смеюнчики, смеюнчики.

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

## **Бобэоби пелись губы...**

Бобэоби пелись губы,

Вээоми пелись взоры,

Пиээо пелись брови,

Лиэээй — пелся облик,

Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.

Так на холсте каких-то соответствий

Вне протяжения жило Лицо.

## **Бог 20-го века**

Как А,

Как башенный ответ — который час?

Железной палкой сотню раз

Пересеченная Игла,

Серея в небе, точно Мгла,  
Жила. Пастух железный, что он пас?  
Прочтя железных строк записки,  
Священной осению векши,  
Страну стадами пересекши,  
Струили цокот, шум и писки.  
Бросая ветку, родите стук вы!  
Она, упав на коврик клюквы,  
Совсем как ты, сокрывши веко,  
Молилась богу другого века.  
И тучи проволок упали  
С его утеса на леса,  
И грозы стаями летали  
В тебе, о, медная леса.  
Утеса каменные лбы,  
Что речкой падали, курчавясь,  
И окна северной избы —  
Вас озарял пожар-красавец.  
Рабочим сделан из осей,  
И икс грозы закрыв в кавычки,  
В священной печи жег привычки  
Страны болот, озер, лосей.  
И от браг болотных трезв,  
Дружбе чужд столетий-пьяниц,  
Здесь возник, быстер и резв,  
Бог заводов — самозванец.  
Ночью молнию урочно  
Ты пролил на города,  
Тебе молятся заочно  
Труб высокие стада.  
Но гроз стрела на волосок  
Лишь повернется сумасшедшим,  
Могильным сторожем песок  
Тебя зарыть не сможет — нечем.  
Железных крыльев треугольник,  
Тобой заклеван дола гад,  
И разум старший, как невольник,  
Идет исполнить свой обряд.  
Но был глупец. Он захотел,  
Как кость игральную, свой день  
Провести меж молний. После, цел,  
Сойти к друзьям — из смерти тень.  
На нем охотничьи ремни  
И шуба заячьего меха,  
Его ружья верны кремни,  
И лыжный бег его утеха.  
Вдруг слабый крик. Уже смущенные

Внизу столпились товарищи.  
Его плащи — испепеленные.  
Он обнят дымом, как пожарище.  
Толпа бессильна; точно курит

Им башни твердое лицо.  
Невеста трупа взор зажмурит,  
И, после взор еще... еще...  
Три дня висел как назидание  
Он в вышине глубокой неба.  
Где смельчака найти, чтоб дань его  
Безумству снести на землю, где бы?

<1915>

### **В холопий город парус тянет...**

\* \* \*

В холопий город парус тянет.  
Чайкой вольницу обманет.  
Куда гнется — это тайна,  
Золотая судна райна.  
Всюду копыя и ножи,  
Хлещут мокрые ужи.  
По корме смоленной стукать  
Не устанет медный укоть,  
На носу темнеет пушка,  
На затылках хлопцев смушки.  
Что задумалися, други,  
Иль челна слабы упруги?  
Видишь, сам взошел на мост,  
Чтоб читать приказы звезд.  
Догорят тем часом зори  
На смоле, на той кокоре.  
Кормщик, кормщик, видишь, пря  
В небе хлещется, и зря?  
Мчимтесь дальше на досчане!  
Мчимся, мчимся, станичане.  
Моря веслам иль узки?  
Мчитесь дальше, паузки!  
В нашей пре заморский лен,  
В наших веслах только клен.  
На купеческой беляне  
Браги груз несется пьяный;  
И красивые невольницы  
Наливают ковш повольницы.  
Голубели раньше льны,  
Собирала псковитянка,  
Теперь, бурны и сильны,  
Плещут, точно самобранка.

<1915>

### **КУРГАН СВЯТОГОРА**

I

Отхлынувшее море не продышало ли некоего таинственного, не подслушанного никем третьим, завета народу, восприявшему в последний час, сквозь щель кремового гроба,

восток живого духа, распятого железной порой воителя? Народу, заполнившему людскими хлябями его покинутое, остывающее от жара тела первого воителя ложе, осиротелый, женственно мореём?

Благословляй или роси яд,  
Но ты останешься одна.  
Завет морского дна  
Россия.

Точно. Своими ласками передала нам Вдова лик первого и милого супруга. Щедро расточаемыми ласками создала кумир целящий. Так мы насельники и наследники уступившего нам свое ложе северного моря.

Мы исполнители воли великого моря.

Мы осушители слез вечно печальной Вдовы.

Должно ли нам нести свой закон под власть восприявших заветы древних островов?

И широта нашего бытийственного лика не наследница ли широт волн древнего моря?

II

Конечно, правда взяла звучалью уста того, кто сказал слова суть лишь слышимые числа нашего бытия. Не потому ли высший суд славобича. Всегда лежал в науке о числах? И не в том ли пролегла грань между былым и идущим что водим ныне и познания от "древа мнимых чисел"?

Полюбив выражения вида, которые отвергали прошлое, мы обретаем свободу от вещей.

Делаясь шире возможного, мы простираем наш закон над пустотой, то есть не разнотствуем с богом до миротворения.

III

Буй волит видеть свой лик в буйовичах.

И не злой ли ворожкой висит над нашей славобой тень северного моря, не узнающая в сыне лика своего отца? И не признающая в сыне сына?

И не в нас ли воскликнула земля: "О, дайте мне уста! Уста дайте мне!" И дали ли мы ей уста?

И не в несчетный ли раз одетая в грусть, телесатая равниной Вдова спрашивает: "Вот тело милого супруга. Но где его голос? Так как вижу милые уста, зачарованные злой волей соседних островов, молчание или вторящие крику заморских птиц, но не слышу голос милого". Да. Русская славоба вторила чужим доносившимся голосам и оставляла немым северного загадочного воителя, народ-море.

И самому великому Пушкину не должен ли быть сделан упрек, что в нем звучащие числа бытия народа -- преемника моря, заменены числами бытия народов послушников воли древних островов?

И не должны ли мы приветствовать именем "первого русского, осмелившегося говорить по-русски" -- того, кто разорвет злые, но сладкие чары и заклинать его восход возгласами: "Б\_у\_ди! Б\_у\_ди!"

IV

Мы ничего не знаем, ничего не предсказываем, мы только с ужасом спрашиваем: ужели пришло время, ужели он?

V

Вот он шумит своими ветвями, и не окружим ли мы его порослью молодых деревьев?

VI

Всякое средство не волит ли быть и целью? Вот пути красоты слова, отличные от его целей. Дерево ограды диет цветы и само.

VII

И останемся ли мы глухи к голосу земли: "Уста дайте мне! Дайте мне уста!" -- Или же останемся пересмешниками западных голосов?

## VIII

И хитроумные Евклиды и Лобачевский не назовут ли одиннадцатью нетленных истин корни русского языка? В словах же увидят следы рабства рождению и смерти, назвав корни -- божьим, слова же -- делом рук человеческих.

И если живой и сущий в устах народных язык может быть уподоблен доломерию Евклида, то не может ли народ русский позволить себе роскошь, недоступную другим народам, создать язык -- подобие доломерия Лобачевского, этой тени чужих миров? На эту роскошь русский народ не имеет ли права? Русское умнечество, всегда алчущее прав, откажется ли от того, которое ему вручает сама воля народная права словотворчества?

Кто знает русскую деревню, знает о словах, образованных на час и живущих веком мотылька.

И не значит ли, что боги унесены из храма, если безбоязненно в ряды молящихся замешиваются иноверцы? И выполняют требы?

Пренебрегли вы древней дланью,  
Благословившей вас в купели,  
И живы жертвенные лани,  
Мечи жреца чтоб не тупели

## IX

И не должно ли думать о дебле, по которому вихорь-мнимец емлет разнотствующие по красоте листья -- славянские языки, и о сплюсненном во одно, единый, общий круг, кругевихре -- общеславянском слове?

## X

Конечно, Жена, телесатая северной равниной, приемлет нежного супруга, алча ласк первого, и не этим ли таинственно ваяет его лик, силой женской чары, в лик первого и милого мужа -- морского моря?

Так изменяемся мы, уподобляясь первому, чтобы заслужить великих милостей у облеченной в равнину Вдовы.

И когда родимые второму морю пройдут пред восхищенным взглядом светлые горы, восставляя свой ледяной закон и рокот, не следует ли предаться непорочной игре в числа бытия своего, чаруя ими себя, как родом новой власти над собой, и прозревая сквозь них великие изначальные числа бытия-прообраза? И сии славоги, гордо плывучие на смену чужеземным снегам... Так как не на хлябях ли морских рождаются самые большие ледяные горы каким не бывать на суше? -- Не наполнят ли они нашу душу трепетом и гордостью вещей?

И не станем ли мы тогда народом божичей, сами зоревея вечностью, а не пользуясь лишь отраженным?

Обратимте" наши очи к лучам земных воль; если же мы воспользуемся заимствованным светом, то на нашу долю останется навий свет, добрые же лучи останутся на потребу соседним народам.

Мы не должны быть нищи близостью к божеству -- даже отрицаемому, даже лишь волимому.

## XI

И если человечество всё еще зелень, трава, но не дает на таинственном стебле, то можно ли говорить, пророча, о<б> осени, жёлтыми листьями отрываясь от сил бесконечного? Или же, слыша песнь, следует посмотреть на небо; не жаворонок ли первый? И даже мертвое или кажущееся таким не должно ли прозреть связью с бесконечным в эти дни?

## XII

О, станем же верны морскому супругу Жены, нашему прообразу, совооруженному с нами латами -- море, конем -- тысячелетний рокот, щитом -- водянистость существа. Он же вдохнул в нас дыхание иной поры, поры иных могачей, богачественной иной мощью. Вдова ваяет в нас лик: пред ее волей мы должны преклониться.

Конец 1908

## Алексей Крученых

### Об авторе:

#### Автобиография дичайшего

Считаю бесцельным верхоглядством биографии и автобиографии на одной страничке. Но, угрожая тем, что другими будет написана такая моя биография, исполненная даже фактических лжей, — вынужден таки написать «оную».

Во-первых, как это ни странно, у меня были родители (потомственные крестьяне). Родился я в 1886 году 9 февраля в деревне Херсонской губернии и уезда, и до 8 лет жил в ней и даже пытался обрабатывать землю, но больше, кажется, обрабатывал об нее свою голову, падая с лошади (не отсюда ли тяга к земле в моих работах?!).

8-ми лет переехал в Херсон, где и получил первоначальное образование.

16-ти лет поступил в Одесское Художественное Училище, каковое и окончил в 1906 году (сдав экзамены по 20 с лишком предметам!) и получил из Академии Художеств диплом учителя графических искусств средн. учебных заведений, который и эксплуатировал в «минуты трудной жизни»: был сельским учителем в Смоленской губернии и учителем женской гимназии в Кубанской области, откуда извергался за футуризм и оскорбление духовных и светских начальственных.

В 1905 году применял и другие свои таланты: работал вместе с одесскими большевиками, перевозил нелегальные типографии и литературу, держал склад нелегалщины против полицейского участка, в какой и попал в 1906 году.

В том же году, в Одессе и Херсоне, началась моя общественно-художественная деятельность: нарисовал и выпустил в свет литографированные портреты Карла Маркса, Энгельса, Плеханова, Бебеля и др. вождей революции.

Эту художественную деятельность я продолжал и в Москве, куда прибыл в 1907 году.

В 1908 — 10 г., навестив многообразно прихварывающий Херсон, издал там 2 литографированных альбома «Весь Херсон в карикатурах», сильно взбаламутивших мою скушиноватую родину.

Помню такой случай: встречает меня в магазине один из пострадавших дворян в желто-гусарском «околыше» и угрожает:

— Если вы не изымете карикатуру на меня, то будете избиты!

На что я скромно:

— В чем дело? Бейте! —

— Нет, я вас повстречаю в темном переулке и там...

— Ну, такие не бьют, которые обдумывают, как бы встретить в томном переулке! —

Так меня и не побили... Я и не жалею...

Но рассказываю о других ужасах моей жизни, например, о том, как в детстве я задохнулся в дыму пожара (не мирового, а домашнего), как тонул в родном Днепре, как разбился, падая с мельницы моего деда, — никому от этого легче не стало: во всех трех случаях я все равно спасся...

В 1907 — 8 гг. я начал работать с многочисленными Бурлюками и Бурлючихами, пропагандируя живописный кубизм вьюжной прессе.

С зимы 1910 — 11 г. я опять в Москве, где весной 12 года познакомился с В. Хлебниковым и, кажется, немного раньше, с Маяковским, часто встречаясь 59 с ним в столовой Вхутемаса (тогда Школа Живописи, Ваяния и Зодчества), где он обжирался компотом, заговаривая насмерть продавщицу.

В эти же годы, предчувствуя скорую гибель живописи и замену ее чем-то иным, что впоследствии оформилось в фото монтаж, я заблаговременно поломал свои кисти, забросил палитру и умыл руки, чтобы с чистой душой взяться за перо и работать во славу и разрушение футуризма, — прощальной литературной школы, которая тогда только загоралась своим последним (и ярчайшим) мировым огнем.

В 1912 году весной я впервые (и со скандалом) выступал на публичных диспутах в Москве; писал с Хлебниковым первую свою поэму — «Игра в аду». Летом она была напечатана с рисунками Н. Гончаровой. Одновременно, с рисунками М. Ларионова, вышла 1-я книжечка моих стихов, — «Старинная любовь» — вышла веселая.

Зимой 12 – 13 года появилась «Пощечина», где я выступил впервые вкупе с Маяковским, Бурлюком, Хлебниковым и др. Тогда же выскочил «Дыр-бул-щыл» (в «Помаде»), который, говорят, гораздо известнее меня самого.

Затем события пошли бурно. Бесконечные диспуты, выступления, постановки, книги и скандалы. Из этого периода помню: напрогнозировал литкончину Игоря Северянина в лоне Брюсова с Вербицкой (см. книгу «Возрождением»), а Маяковскому предсказал успех кино и Макса Линдера (в книге выпитые «Стихи Маяковского», первая вообще книга о нем); будучи во главе издательства «ЕУЫ», напечатал первые две книги стихов Хлебникова «Ряв» и «Изборник» (Бурлюк тогда же издал его «Творения»). Обнародовал «Декларацию слова, как такового», давшую начало теории заумного языка (установки на звук) и формального метода.

Наметилась первая в России самостоятельная поэтическая школа — заумная (заумники). С этого времени я дал в своих работах ряд возможных для русского языка образцов фонетики, отдавая явное предпочтение грубому «мужицкому» рыку с южным привкусом на га.

В 1913 г. я чаще всего выступал с Майкопским (в Питере и Москве).

Знамя держали высоко, скандалили крепко, кричали громко и получали много (до 50 руб. в час).

... 1914 год... Война... Зная эту лавочку, я предпочел скромненько удалиться на Кавказ.

К 1916 г. докатился до Тифлиса.

Немного подиспутировав, занялся делом — строил Эрзорумскую жел. дорогу; закончив эту постройку и выпустив несколько книг в Тифлисе, а также, открыв Игоря Терентьева, перебрался на постройку Черноморки, а оттуда (опять подиспутировав в Тифлисе, особенно в компании с Терентьевым и Ильей Зданевичем), — на железную дорогу в Баку (поближе к России).

В 20 – 21 году, по приходе большевиков в Азербайджан, работал в Росте, а также в газетах «Коммунист», «Бакинский рабочий» и др.

Встречался и работал в это время с В. Хлебниковым, Т. Толстой (Вечеркой), И. Саконской и др., диспутировал и скандалил с Вяч. Ивановым, С. Городецким, местными профессорами и поэтами.

В августе 21 года вернулся в Москву — наиболее любимый мною город, и встретил почти всех своих товарищей и приятелей.

Немедленно устроил «приездный» вечер, где я и меня встретили многие, дотоле незнакомые, друзья. Я шумно поделился с ними своими последними соображениями и достижениями.

Предварительную «экскурсию по Крученым» присутствующие сделали под руководством Маяковского.

Первый месяц по приезде в Москву я выступал на разных эстрадах почти ежевечерно, даже устал.

В этом же сезоне на устроенной Маяковским «чистке поэтов и поэтессы» я оказался единственным прошедшим чистку, как Маяковского, так и переполненного до отказа зала Политехнического Музея. Читал я свою «Зиму» («Мизиз зыньицив»).

Так снова — в Москве — взбурлила моя лит-работа.

*А что кипело и как вскипело — смотри в книгах с 21 года по настоящий, и далее...  
(Библиография — в моих книгах  
«Заумный язык у Сейфуллиной и др.» и  
«Новое в писательской технике»).*  
6/X-27 г.  
Москва

## **Из книги «Мирсконца»**

### **«куют хвачи черные мечи...»**

куют хвачи черные мечи  
    собираются брыкачи  
ратью отборною  
    темный путь  
    дальний путь  
    твердыне дороге  
их мечи не боятся печи  
    ни второй свечи  
ни шкуры овчи  
    три  
ни крепких сетей  
    огни зажгли смехири  
сотня зверей  
    когтем острым  
рвут железные звери  
    стругают  
стучат изнутри староверы  
    огнем кочерги  
у них нет меры  
    повернул лихач зад  
    налево  
наехал на столб наугад  
    правил смрад  
крыши звон стучат

<1912>

## **При гробовщике**

рат та тат  
черных кружев  
    молоток  
    смех тревожит  
черный край  
    пахнет гробом  
    черный креп  
раз два  
    три шьют  
молодые шьют  
черный дом

черный сор  
мерку кит снимает  
первый сорт  
вышли моды  
                  человек  
      вот ушел  
      вот пришел  
гвоздь для матушки

<1912>

## Сон

майки сидят  
      жуки сидят  
колышется туго  
                  дышется  
пар колышется  
      под соломой я  
          голова  
      выросла трава  
Глаза косит  
      паук сидит  
      в волосах  
зуб колышется туго дышется  
      плеток плетет  
      седлает скотину  
      крамольник наук  
распахнулось  
          мокрое веко  
зеленый глаз  
      заковыка  
засыпает  
      и сквозь стреху  
                  выглядает

<1912>

## Из сборника «Взорваль»

\* \* \*

**ЗАБЫЛ ПОВЕСИТЬСЯ**  
      ЛЕЧУ К АМЕРИКАМ  
НА КОРАБЛЕ ПОЛЕЗ ЛИ  
                  КТО  
ХОТЬ БЫЛ ПРЕД НОСОМ

1913

\* \* \*

## Я В ЗЕМЛЮ ВРОС

ПОТЕМНЕЛ  
ПОД ГРИВОЮ ВОЛОС  
НАШЕЛ ПРЕДЕЛ  
от славы ИСКУшенья  
ЗАБИЛСЯ В СПРЯТ  
НЕ слышу умиленья  
ШЕПЧУ О СВЯТ  
ПОДАЙ МНЕ силы  
СРОСТИСЬ с ЗЕМЛЕЙ  
СРОСТИСЬ С СОГИЛОЙ  
С ТОБОЙ ТОБой

## СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА

привыкнув ко всем безобразьям  
искал я их днем с фонарем  
но увы! изнасились проказы  
не забыться мне ни на чем!

и взор устремивши к безплотным  
я тихо но твердо сказал:  
мир вовсе не рвотное —  
и мордой уткнулся в Обводный канал.

## УЕХАЛА!

Как молоток  
влетело в голову  
отточенное слово,  
вколочено напропалую!  
— Задержите! Караул!  
Не попрощался.  
В Кодж оры!  
Бегу по шпалам,  
Кричу и падаю под ветер.  
Все поезда  
проносятся  
над онемелым переносьем...

Ты отделилась от вокзала,  
покорно сникли семафоры.  
Гудел  
трепыхался поезд,  
горлом  
прорезывая стальной воздух.

В ознобе  
не попадали  
зуб-на-зуб шпалы.

Петлей угарной — ветер замахал.  
А я глядел нарядно-катафальный  
в галстук...  
И вдруг — вдогонку:  
— Стой! Схватите!  
Она совсем уехала?

Над лесом рвутся силуэты,  
а я — в колодезь,  
к швабрам,  
барахтаться в холодной одиночке,  
где сырость с ночью спят в обнимку,

Ты на Кавказец профуфирила в экспрессе  
и скоро выйдешь замуж,  
меня ж — к мокрицам,  
где костоломный осьмизуб  
настежь прощелкнет...

Умчался...  
Уездный гвоздь — в селезенку!  
И все ж — живу!  
Уж третью пятидневку  
в слякоть и в стужу  
— ничего, привыкаю  
хожу на службу  
и даже ежедневно  
что-то дряблкое  
обедаю с  
кислой капусткой.  
Имени ее не произношу.  
Живу молчальником.  
Стиснув виски,  
стараюсь выполнить  
предотъездное обещание.  
Да... так спокойнее —  
анемильником...  
Занафталиненный медикамен —  
тами доктор  
двенадцатью щипцами  
сделал мне аборт памяти...

Меня зажало в люк.  
Я кувыркаюсь без памяти,

Стучу о камень,  
Знаю — не вынырну!  
На мокрые доски  
молчалкою  
— плюх!..

## Андрей Платонов

### Об авторе:

*ПЛАТОНОВ Андрей Платонович (наст. фам. Климентов) [1 сентября (20 августа) 1899, Воронеж — 5 января 1951 года, Москва], русский писатель*

*Начало пути*

*Родился в многодетной семье слесаря железнодорожных мастерских. Учился в церковно-приходской школе, затем в городской. С 14 лет начинает овладение рабочими профессиями (слесаря, литейщика, помощника машиниста паровоза) — нужно было поддерживать семью. Мотив паровоза прошел через все его творчество, а трудное детство описано в рассказах о детях. Рано проявляет интерес к техническому изобретательству и одновременно — к литературе. Первая проба пера — юношеские стихи, вошедшие в его поэтический сборник «Голубая глубина» (1922). В 1918-1921 годах активно занимается журналистикой, совмещая ее с работой на железной дороге и учебой в Воронежском политехническом институте.*

*Рабочий-интеллигент. Воронеж*

*В 1922-1926 годах Платонов работает мелиоратором в Воронежской губернии и на строительстве электростанции. Он увлечен делом преобразования хозяйства, однако упорно продолжает заниматься литературой. Печатает публицистические статьи, рассказы и стихи в воронежских газетах и журналах и даже в московском журнале «Кузница». В публицистике Платонов этих лет — мечтатель-максималист, борец со стихийными силами в природе и жизни, призывающий к скорейшему превращению России «в страну мысли и металла», к подавлению влечений пола как препятствию на пути ко всеобщему братству. Вместе с тем, напряженные философско-этические искания Платонова этих лет (на него оказали влияния идеи А. Богданова, К. Э. Циолковского, Н. Ф. Федорова, В. В. Розанова) не позволяют ему слиться с пролетарской литературой. Пишет рассказы на темы деревенской жизни («В звездной пустыне», 1921, «Чульдик и Епишка», 1920), а также научно-фантастические рассказы и повести («Потомки солнца», 1922, «Маркун», 1922, «Лунная бомба», 1926), в которых вера в технический прогресс соединяется с утопическим идеализмом ремесленника-изобретателя.*

*От «дела» к «слову»*

*В 1927 году Платонов оставляет службу и перебирается с семьей в Москву: писатель в Платонове победил инженера. Вскоре появляется повесть «Епифанские шлюзы», давшая название сборнику рассказов (1927). В этой повести в экспрессивно-сгущенной символике сюжета и языка дана острая метафора трагического и жестокого облика России, обреченность в ней рациональных начинаний. Платонов подвергает в это время критической ревизии не только свои социальные утопические воззрения, но и радикализм в сфере пола. В сатирической утопии-памфлете «Антисексус» (1928) высмеивается идея отказа от плотской любви в пользу общественной деятельности, а также документально-монтажная литература левых.*

*В этот период кристаллизуется поэтика Платонова: спрямленность в выражении идеи уступает место двойственности авторской позиции; устремленность в будущее сменяется поисками глубинных смыслов жизни — «вещества существования»; герои — одинокие изобретатели, странники, раздумчивые чудаки. Складывается неповторимая*

языковая фактура: стиль мастера основан на поэтических приемах и словообразовательном механизме языка, выявляющем скрытое, первичное значение слова. Выразительное косноязычие Платонова не имеет прецедентов в русской литературе, отчасти опираясь на традиции символизма, а также перерабатывая опыт авангарда и газетную лексику своего времени.

Новая поэтика нашла свое выражение в повестях «Ямская слобода» (1927), в которой Платонов продолжил деревенскую тему ранней прозы, «Город Градов» (1928) — сатире на советскую бюрократию, «Сокровенный человек» (1928) о приключениях «размышляющего пролетария» в годы гражданской войны. В этой прозе Платонов уходит от декларативно-иллюстративного представления утопической идеи к напряженному поиску алгоритма существования, подчиненного многоуровневому единству человека и извечных проблем бытия. Граница между внутренним миром человека и внешней средой, между живой и неживой природой становится проницаемой, понятия и вещи сближаются, а суть жизни проявляется на грани ее исчезновения.

#### Героика ветхости

Сотканные из парадоксов угловатые герои, язык, сюжеты Платонова с трудом обретали признание современников. Успех публикаций в журналах «Красная новь», «Новый мир» вскоре сменяется критическими отзывами, редакторскими купюрами и отказами. Положение Платонова усугубляется бытовыми неурядицами: семья долго скитается по временным квартирам, пока в 1931 не поселяется во флигеле особняка на Тверском бульваре (ныне Литературный институт им. Герцена). 1929 год, год «великого перелома», принесший ужесточения в области литературной политики, сделал атмосферу вокруг Платонова еще более отчужденной. После публикации очерка «Че-Че-О» и особенно рассказа «Усомнившийся Макар» (1929) Платонов был обвинен в анархо-индивидуализме. Писателя перестают печатать — не помогает даже обращение к Горькому.

В 1928 Платонов завершает работу над романом «Чевенгур», однако целиком он увидел свет лишь в 1972 в Париже. Роман представляет собой многоплановое повествование, в котором лирика и сатира переплетены с философскими построениями и политическими аллюзиями. В основе сюжета — описание возникновения и гибели города-коммуны Чевенгур, куда приезжают после ряда приключений герои романа, сын утопившегося рыбака Саша Дванов и Дон Кихот революции Копенкин. В Чевенгурской коммуне «кончилась история» — очистив город от буржуев и «остаточной сволочи», уничтожив хозяйство, люди питаются дарами земли и солнца. Напавшие на город солдаты приносят окончательную гибель обитателям города. Роман пронизан двойственностью: коммуна — и идеал, и предмет осмеяния; федоровские воззвания к братству людей, воскрешению предков, предосудительности проявлений пола, которым Платонов был привержен в молодости, здесь иронически остраиваются. Поэтика в «Чевенгуре» получает дальнейшее развитие: сюжет выражен неявно, речь персонажей и рассказчика не различаются; язык «корявый и афористически изысканный» (Е. Яблоков). Мерцание смыслов создает особую экспрессивно-вязкую среду неразрешенного трагического конфликта как основы существования. Этот конфликт универсален и не сводим лишь к разрыву между идеалом и практическим устройством жизни, к политическим и историческим реалиям.

#### Тридцатые годы

В тридцатые годы с наибольшей силой проявляется талант Платонова. В 1930 он создает один из своих главных шедевров — повесть «Котлован» (впервые опубликована в СССР в 1987) — социальную антиутопию на темы индустриализации, трагико-гротескное описание краха идей коммунизма (вместо дворца выстроена коллективная могила). Платонов «подчинил себя языку эпохи» (И. Бродский), напряженная фактура которого определила тему разрыва идеала с действительностью, мотива истончения существования, щемяще-трагической отчужденности каждого живого существа.

Однако социальная атмосфера накалялась. На публикацию «бедняцкой хроники» «Впрок» (1931) — иронического описания коллективизации — следует резкая реакция Сталина, и Платонова перестают печатать. Даже рассказ на антифашистскую тему «Мусорный ветер» (1934) был осужден за гротеск и «ирреальность содержания».

В середине 1930-х Платонов — писатель, пишущий главным образом в стол. Вместе с тем, обилие замыслов переполняет писателя. Он напряженно работает. В это время им были написаны роман «Счастливая Москва», пьеса «Голос отца», статьи о литературе (о Пушкине, Ахматовой, Хемингуэе, Чапеке, Грине, Паустовском). После создания близкой по проблематике к «Чевенгуру» и «Котловану» повести «Ювенильное море» (опубликована в 1986) и пьесы «Шарманка» писатель постепенно удаляется от масштабных социальных полотен в мир душевных переживаний и любовных драм (рассказы «Река Потудань», «Фро», «Афродита», «Глиняный дом в уездном саду»), в которых усиливается психологическая моделировка персонажей; ироническое отношение к любви уступает место глубине психологического прочтения. Замечательны рассказы о детях («Семен», 1936) — в них сопрягаются героика «отдельного существования» с состраданием к сиротству человечества.

В 1933-1935 после поездки в Туркмению Платонов создает повесть «Джан». Ее герой, вedomый прометеевской страстью спасти свой вымирающий в пустыне народ, хочет научить людей счастливой жизни в коммуне, но терпит неудачу. Лирический и социально-утопический пласты соединились здесь в единое целое. Яркость фразы и слова, звукопись и ритм делают прозу Платонова 1930-х годов экспрессивно-насыщенной.

В 1937 Платонову удается опубликовать сборник рассказов «Река Потудань», который подвергся уничтожительной критике, Платонов снова в опале, его положение тяготеет еще одним событием — в 1938 по сфабрикованному делу был арестован единственный сын Платонова, пятнадцатилетний подросток.

*Война и послевоенное творчество*

В годы войны Платонов был фронтовым корреспондентом газеты «Красная звезда». В созданных им рассказах о войне сохраняется присущая Платонову неоднозначность оценок, атмосфера парадоксальности бытия, внутреннего конфликта человека и мира. Рассказ «Семья Ивановых» («Возвращение») вызвал резкую критику за «клеветничество» в адрес советской семьи.

В последние годы жизни писатель, на которого обрушивается новая волна нападков, вынужден искать обходных путей — он пишет вариации русских и бакирских народных сказок, работает над сатирической пьесой на тему американской действительности (с аллюзиями на СССР) «Ноев ковчег» (не закончена). Однако приспособиться к послевоенному террору Платонову было не дано: он вскоре умер от туберкулеза, которым заразился от сына, выпущенного из лагеря.

С 1980-х годов яркая самобытность мастера вызвала огромную волну интереса во всем мире. Большая часть произведений Платонова все еще находится в рукописях. Платонов — художник победившей музыки: «темная воля к творчеству» и сокрушительная мощь слова многократно перекрыли узость времени и идей, которым он был предан.<sup>67</sup>

Н. Болот

## Душа человека - неприличное животное

(Фельетон о стервецах)

### 1. Рассуждение о СУТИ дела

Фельетон - это, в сущности, маленький манифест только что рожденного непо своей воле бандита, а по воле своих свих и бабушек: "историческойнеобходимости", "естественного хода вещей", "действительности" и прочихстарых блудниц и гоморрщиц. Причем иногда, и чаще всего коммунист, вдругощущает себя как бандита и в

---

67 По материалам сайта: <http://www.a-platonov.narod.ru/biografiya.htm>

сердце его радостно и свободно начинает выть справедливый чудесный зверь. Такой "коммунист" кажется всем неприличным: у него оголилась душа, он начинает смеяться, надевает обыкновенные штаны и уходит "домой" - в цех.

- Товарищ! - говорят ему. - Надо жить только в гостиных и залах души. А ты живешь в клозете. Опомнись, брат. Не смотри чертом... Не собирай нищих за городом. Ты думаешь, они способны направить революцию. Нет, брат, оставь; не тряс штанами нищими, мы и брюки видали...

И они замолчали. Другой, что говорил, ушел. Остался один, у кого в сердце зверь и душа свободна от белья и сапогов приличий. Он видел остро и радостно. Его тело скрипело под напором крови и горело, как огнедышащий вулкан. В голове танцевали четкие фигуры развратных мыслей. Он был один, один - с неисчислимыми массами неведомых, идущих к нему товарищей, решивших взорвать мир без определенной цели, без программ и политики, а ради самих себя, ради своей страсти к невозможному...

Он увидел весь мир во всем его приличии и свою душу во всем ее неприличии. Первое дело он снял шляпу жизни - жену - и отпустил ее домой, в деревню. Пусть песни вечером поет. Он и песню для нее сочинил и посвятил ее ей.

Теперь он глядел на старую жабу - действительность, - и от ее мелочей у него нутро затихало.

Он же был динамитом действительности и радовался своей справедливости.

Подойдет его время. Пока же он и спит, и обедает в клозете жизни - своей душе.

Он знал одно: эти мелочи - вся истина жизни. Идеал, дух и прочие юбки старых дев - это суть только заблуждающаяся материя.

## *2. Революционер в полном облачении*

Площадь. Красные войска, рабочие, женщины, дети. После дождя вся земля под стеклом. Гремит и движется под солнцем живая революция. Никто не верит, что есть невозможное.

Парад. Черные чертики - фотографы - снимают пролетариат. Люди в полном облачении, т.е. галифе, нагане, коже и т.д., устанавливают порядок, чтобы было приличное лицо у революции.

К суевающейся хохочущей толпе, повторившей на квадратной сажени Октябрь, подскакивает официальный революционер, бритый и даже слегка напудренный. Так чуть-чуть, чтобы нос не блестел

- Осади, осади назад - говорят вам.

Рабочие и женщины осадили. Они вполне поняли, революция затихла. Галифе скакнуло дальше.

Революция сменилась "порядком" и парадом.

## *3. Мертвые ДУШИ в советской бричке*

Едет советская бричка. В ней солидный мужчина, разбрызгшая на ворованных харчах барыня, кучер и кобелек.

Это едут по всем мостовым, улицам и переулкам мертвые души в советских бричках. Едут и едут, никак не доедут. А ведь, доедут - придет время. Доедут до рабочего ада, и им там воткнут железный шток сквозь пупок. Мечутся мертвые тени в живых городах и ждут они страшного суда, рабочей расправы.

## *4. Необъяснимые чудеса*

Чудеса эти - беременные мужчины, которые идут домой с мельниц. Стражи у ворот следят.

- Ты куда?

- Домой, кончил.

- Ага, кончил. Открой рот... Ну, проходи.

Или там.

- Даешь?

- Берешь.

- Проходишь.

В селе Лупцеватом объявилась икона божьей матери-троеручицы.

А у нас чудеса еще почище - мельники, солидные приличные мужчины, по вечерам беременеют и еле доходят с работы домой, где и опоражниваются.

5. Резюме

Один рабочий объяснил это слово так:

- Режь умней.

А другой ему ответил:

- Ничего, плотай без ножа. Суй пальцем.

## Антисексус

*От переводчика*

Ниже нами приводится текст рекламной брошюры, изданной в Нью-Йорке на 8европейских языках "Международным промышленным обозрением" (Internationale Industriale Revu)<sup>68</sup>.

Нельзя отказать в незаурядном литературно-рекламном даровании составителю этой брошюры, как нельзя отказать этому деловому сочинению в империалистическом цинизме, корректной порнографии и чудовищной пошлости, вызывающей своими размерами даже грусть. Однако, есть что-то в стиле этой брошюры, что роднит ее с духом Анатоля Франса, если позволено нам будет здесь произнести это великое и честное имя. Это, отчасти, и дало нам смелость опубликовать это неслыханное произведение.

Нет лучшего документа для характеристики эпохи живого загнивания буржуазии и ее полной моральной атрофии, чем нижеприводимый. Ничего подобного не приходилось читать даже нам - искушенным профессиональным читателям.

Ожидая всего от современных заправил капитализма, бюрократии, фашизма и военщины, давших свои отзывы рекламируемому прибору, мы все же не ожидали у них полного отсутствия ума и чувства элементарного такта.

Конечно, т.Шкловский<sup>69</sup>, тонко сыронизировавший посредством формального метода надо всей этой ахинеей, из этого правила исключается.

Оказывается, не права физиология ("мозг разлагается одним из последних органов"), а права русско-большевистская поговорка: разум отнимается первым - у того, кого хочет казнить История.

Именно так: поэтому и смердит на все земное пространство от этого демонстрируемого англо-евро-американского сочинения, от этого сектора империализма.

Поэтому лучшая контр-"антисексуальная" агитация - напечатание этого любопытного документа, ибо у людей задвигается выражение на лицах, а на лицах засияет розовый смех - лучший друг души и желудка и худший враг всего этого индустриально-морально-физиологического удушающего безумия.

### АНТИСЕКСУС

Патентованные аппараты

Беркман, Шотлуа и Сн, Лтд.

Главное Правление: Берлин, Лондон, Женева, Вашингтон.

---

68 Вымышленное издание.

69 Виктор Борисович Шкловский (1893-1984) в книге "Третья фабрика" описал свою встречу с А.Платоновым в Воронеже: "Говорил Платонов о литературе, о Розанове, о том, что нельзя описывать закат и нельзя писать рассказов". (см.: Шкловский В. Третья фабрика. М. "Круг". 1926, стр. 125-131.)

Генеральные агентства:

Лондон, Париж, Копенгаген, Брюссель, Нью-Йорк, Варшава, Будапешт, Багдад, Пекин, Сингапур, Шанхай, Гонконг, Мельбурн, Чикаго, Франкфурт н/Одере и н/Майне, Токио, Лиссабон, Севилья, Рим, Афины, Монтевидео, Константинополь, Ангора, Калькутта, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Мекка, Каир, Вифлием, Александрия, Бангкок, Дамаск, уполномоченные на всех пассажирских судах Гамбург-Америка линия, а также на воздушных линиях Дерулюфт и Люфт-Ганза<sup>70</sup>.

Милостивые Государи и Государыни!

Столь различны эпохи, столь различны местоположения стран, столь различны культуры, где работает наша мировая фирма. Однако, спрос на наши патентованные изделия имеется всюду - от Арктики до Антарктики, включая и эти последние, не исключая, однако, и диких стран меж тропиками Рака и Козерога. Страсти человечества господствуют над временами, пространствами, климатами и экономикой. Распространение нашей фирмой изделий металлообрабатывающей промышленности для удовлетворения этих страстей есть дело космического порядка - и по линии метафизики и по линии морали. В высшей степени симптоматично то, что, вопреки общепринятому мнению, кривая годового сбыта наших изделий, при равных условиях экономики и числа населения, в северных широтах не разнится от таковой же кривой сбыта в широтах южных - в тропиках.

Отсюда позвольте заключить, что физиология человека почти абсолютно одинакова и стоит вне зависимости от пространств, времен, рас, уровня культур, наличия книгопечатания или отсутствия такового, безобразия расы или прелести таковой и прочих привходящих обстоятельств.

Отсюда очевидно, что полное наличие удовлетворения обуславливает наличие потребности. Мир сам по себе стремится лишь к потреблению, а не производству, мир не производит даже желания наслаждения, когда нет возможности получить это последнее. Имея уже мировой опыт сбыта своих изделий, неустанно совершенствуя конструкцию выпускаемых аппаратов, расширяя сеть заводов (число их достигло - к 1/1-1926 - 224), неусыпно заботясь об индивидуальных оттенках потребления и приспособляя к этим оттенкам конструкции своих аппаратов, мы решили включить в свой экспорт рынок Советского Союза, полагая, что емкость его достаточна, чтобы оправдать наши организационные расходы, неминуемо связанные с необходимыми приспособлениями к особенностям этого нового рынка, ибо без учета всех конкретностей данной обстановки нет коммерческого успеха. Виднейшими моральными авторитетами мира наша деятельность признана не подлежащей никакому сомнению, напротив, достойной государственного поощрения и частной благотворительной поддержки, чем фирма не преминула своевременно воспользоваться и будет пользоваться впредь. Шеф фирмы г.Беркман уже включен в кандидаты на получение премии имени Нобеля и в истекшем году получил *honoris causa* почетное звание д-ра этических и эстетических наук от Парижской Академии. Не задерживая Вашего дорогого стоящего внимания, разрешите поделиться, в самых общих чертах, теми принципами, кои положены в основу деятельности нашей мировой и единственной фирмы ее учредителями.

Сдавленные эпохой войн сексуальные силы человечества неудержимо расцвели в послевоенное время. Это отчасти способствовало загрузке наших заводов и финансовому благополучию фирмы. Неурегулированность половой жизни человечества, чреватость бедствиями, как последствие этой неурегулированности, -

---

<sup>70</sup> Дерулюфт - русско-германское общество воздушных сообщений. Люфт-Ганза - немецкое общество воздушных сообщений.

вот предмет мучительного душевного беспокойства учредителей нашей фирмы и истинная причина нашей положительной деятельности. Общеизвестна также связь сексуального чувства с нравственностью.

Общепризнана святость древнейшего института брака, вытекающая из непреложности супружеской любви и вечности общего спального ложа, таящего в себе высшие положительные наслаждения и, как следствие, душевное умиротворение. В браке истина заменена покоем. Во всяком случае - ни один философ мира не докажет, что лучше. Человечество же высшей истиной признало покой. Объектом же индустриальной и коммерческой деятельности может быть лишь человечество, а философы таким объектом не могут быть.

Исходя из этого, наша фирма заявила патенты во всех цивилизованных странах на электромагнитный аппарат Antisexus, долженствующий урегулировать сферу пола, и вместе с ней и благодаря этому, - высшую функцию человека - дух его, так сказать, притаившееся божество, которое нужно, наконец, сделать явным и общеупотребительным, как одно из рядовых благ цивилизации. Неурегулированный пол есть неурегулированная душа - нерентабельная, страдающая и плодящая страдания, что в век всеобщей научной организации труда, в век Форда и радио, в век Лиги Наций, Резерфорда и проектируемого межпланетного сообщения посредством живой силы, вложенной в так наз. "Кирпич" Крейцкопфа<sup>71</sup>, - не может быть терпимо. Прогресс идет ломаной линией, т.е. отдельные точки его бессильно отстают от других точек. Наша фирма призвана уравнивать линию прогресса, наша фирма призвана уничтожить сексуальную дикость человека и призвать его натуру к высшей культуре покоя и к ровному, спокойному и плановому темпу развития.

В век социально-экономических кризисов, когда материально затруднен брак, в век алиментов, когда почти невозможно деторождение, когда женщина стала вновь лишь призраком поэтов, благодаря нищете мужчин, мы призваны решить мировую проблему пола и души человека. Из грубой стихии наша фирма превратила половое чувство в благородный механизм и дала миру нравственное поведение. Мы устранили элемент пола из человеческих отношений и освободили дорогу чистой душевной дружбе.

Учитывая, однако, высокоценный момент наслаждения, обязательно присущий соприкосновению полов, мы придали нашему аппарату конструкцию, позволяющую этого достигнуть, по крайней мере, в тройной степени против прекраснейшей из женщин, если ее длительно использует только что освобожденный заключенный после 10-ти лет строгой изоляции. Таково наше сравнение, таков эквивалент качества наших патентованных аппаратов.

Далее, особый регулятор позволяет достигать наслаждения любой длительности - от нескольких секунд до нескольких суток, будет свободное время у уважаемого потребителя. Особая план-шайба позволяет регулировать в объемных единицах расход семени, и этим достигать оптимальной степени душевного равновесия, т.е. не допускать излишнего истощения организма и понижения тонуса жизнедеятельности. Наш лозунг - душевная и физиологическая судьба нашего покупателя, совершающего половое отправление, вся должна находиться в его руках, положенных на соответствующие регуляторы. И мы этого достигли. Кроме того,

---

71 Петер Крейцкопф - герой рассказа А.Платонова "Лунная бомба". (Первая публикация - журнал "Всемирный следопыт", 1926, N 12, стр. 3-15.) В этом рассказе есть упоминание "Антисексуса": "...Он подкупил днем еще десятка полтора книг, заинтересовываясь лишь их названиями; это были: "Путешествие в смрадном газе" Бурбара, "Голубые дороги" Вогулова, "Зенитное время" Шотта, "Антропоморфная революция" Зага-Загтера, "Лунный огонь" Феррента, "Антисексус" Беркмана "Всегда ли была и будет история и что она такое наконец в самом деле?" - философия Горгонда - и несколько других".

глубокие старики, выпавшие из сексуального чувства, вновь приобщаются к нему нашими приборами. Мы работаем для всех возрастов и для всех народов.

Мы уже 8 лет выпускаем лишь три типа наших аппаратов для мужчин и три типа для женщин. Рынок, по-видимому, не требует большего разнообразия, благодаря широким вариациям, которые допускает устройство каждого типа, в соответствии с индивидуальными особенностями потребителя. Идя навстречу нашему новому покупателю - оригинальному обитателю советских стран, мы допустили особые льготы, как то: членам профсоюзов по коллективным спискам скидка до 20% с преysкурантной стоимости и рассрочка до 1 года. Цены наших аппаратов на 1926 г. следующие:

1. Тип BSs 00042 для индивидуального потребления, без стерилизатора - 20 длр.

2. Тип BSs 001843 для потребления ограниченной группой лиц (напр., для мужской части семьи), со стерилизатором - 40 длр.

3. Тип BSs 000000401 для потребления неограниченной массой лиц (ставится в общественных уборных, ж.д. вагонах, рабочих бараках, на митингах, в театрах, на улицах, в учреждениях и т.п.), с автоматом-стерилизатором - 100 длр.

Цены указаны без скидки, без упаковки, Франко-база. Для женщин идут те же три типа прибора, тех же назначений, лишь с удорожанием на 15% против указанных цен. Еще раз подчеркивая недостижимость, по нравственной высоте, наших принципов деятельности, почтительно указывая на необходимость организации Вам в себе самой существенной Вашей части - души, стоя на страже Ваших экономических интересов, оберегая таковые от покушений половых стихий, смеем предложить Вам, произведя необходимые одновременные капитальные затраты, раз навсегда вычеркнуть статью расходов по половому удовлетворению из расходной части Вашего бюджета и тем самым стать на путь финансового и морального преуспевания.

В ожидании Ваших любезных заказов и запросов, пребываем к Вам с совершенным почтением Генеральный Агент для Сов. стран Яков Габсбург.

Отзывы об аппаратах "Antisexus" знаменитых людей.

Война - всемирная страсть человечества. Она не пребудет, пока не пребудет жизнь на земле, что бы ни говорили усталые люди и их мечтатели-политики. Война - мужество: она пребудет, пока мужественна и поступательна жизнь.

Аппараты гг. Беркмана, Шотлуа и сына последнего сыграют, я уверен, в ближайшую же войну великую роль, когда ими будут обслужены тысячи молодых людей, скопленных на фронте.

Уже в истекшую войну военачальники считались с духом войск. Вынужденное целомудрие порождает излишнюю нервность. Нервное же войско есть поражение. Нам нужны армии людей с душевным равновесием, способных к десятилетиям войны. Вышеназванные аппараты призваны помочь военачальникам в их тяжелой работе на пути к победе.

Гинденбург.

Г.г.Беркман, Шотлуа и Сн открыли новую блестящую эру в нравственном служении человечеству. Нет сомнения, исторический оптимум есть всеобъемлющее регулирование вселенной мозгом человека, - регулирование, которое должно предстать перед нами в виде трансформатора, превращающего стихий в закономерные автоматы. В свое время, когда мне было 25 лет и я только женился, уже предо мною стояла эта задача, задача регламентации брачной физиологии в точную форму, но моя мысль, отвлеченная занятиями по механике, не сосредоточилась тогда на этом. Сожалею об этом. Может быть; я отказался бы тогда от организации предприятий по фабрикации автомобилей и пошел бы по пути фабрикации приборов, автоматизирующих и нормализующих нравственность, что более соответствует моему душевному строю.

Но гг. Беркман, Шотлуа и Сн предугадали мою юношескую мысль и широко ее осуществили на пользу общества. Душевно рад этому.

Желаю новой промышленности, так блестяще организованной гг. Беркман, Шотлуа и Сном, мирового процветания, желаю расширений сбыта благотворной продукции этой удивительной фирмы, распространив продукцию через скотоводов для всего животного населения планеты, а не только для людей, число коих роковым образом будет ограничиваться работой аппаратов этой же фирмы. Таковым мероприятием укрепится активная часть баланса фирмы, а с нею укрепится и моральная устойчивость мира.

Генри Форд.

Из анализа себестоимости аппаратов под названием "Антисексус" мы усмотрели его излишнюю дороговизну. Я поручил Калькуляционному Бюро пересчитать эту стоимость применительно к нашему сырью и оборудованию и выяснить возможность ее снижения. Мне доложили, что понижение возможно на 30% (пока). С будущего года мы ставим производство Антисексусов на своем заводе в Детройте.

Кроме того, мы позволим себе допускать рассрочку платежа до 5-ти лет, чем покупаемость аппаратов сделаем абсолютной для каждого гражданина. Этим навсегда и сразу будет ликвидирована проституция, а также все безработные приобретут эти аппараты.

От молодых же рабочих мы отнимем необходимость жениться, чем стабилизируем их бюджет, а это последнее позволит нам обойтись без дальнейших повышений зарплаты, столь тормозящих дальнейший прогресс технического усовершенствования наших заводов.

Форд-сын (Иезекииль)<sup>72</sup>.

Лучше в железку сливать семя, если не хочешь превратить его в дерево мудрости, чем в беззащитное тело человека, созданное для дружбы, мысли и святости.

Ганди.

Приборы гг. Беркмана, Шотлуа и Сна облегчают метрополии управление страстными расами колоний и снижают число бессмысленных бунтов, направленных против цивилизации и имеющих в своей причине, как теперь можно установить, лишь одно неудовлетворенное половое чувство молодых людей. Очень серьезно также облегчилось командирование в колонии первоклассных администраторов, так как их женам не грозит, обычное прежде, изнасилование. Независимо от того, и жены администраторов, снабженные аппаратурой фирмы, не пойдут навстречу изнасилованию.

Чемберлен<sup>73</sup>.

---

72 Единственный сын Генри Форда - Эдсел - умер раньше своего отца. Перед своею же смертью Генри Форд организовал фонд, который с момента основания стал одним из богатейших филантропических учреждений подобного рода в мире. Иезекииль (из древнееврейского, "сделает сильным бог") - христианское имя. В связи с этим Т.Лангерак высказал гипотезу: "Можно предполагать, что автор нарочно называет Форда-сына Иезекииль, тем намекая на денежное поддержание Генри Фордом антисемитских изданий" ("Russian Literature", 1981, N IX, p.293). Подобная трактовка представляется спорной, если вспомнить, что точно такое же имя дал А.Платонов одному из персонажей своей пьесы "Ноев ковчег (Каиново отродье)" (1950) - Секерве. Видимо, смысл употребления этого имени, учитывая его этимологию, заключается в некоем избранничестве, в исключительности той роли, которую пытается взять на себя Форд-сын.

73 Чемберлен Остин (1863-1937) - британский государственный и политический деятель, дипломат. В 1924-1929 годах министр иностранных дел Великобритании. Здесь явное противопоставление взглядов (пусть и ироническое) Чемберлена и Махатмы Ганди (1869-1948).

Я против Антисексуса. Тут не учтена интимность, живое общение человеческих душ, - общение, которое всегда налицо при слиянии полов, даже когда женщина - товар. Это общение имеет независимую ценность от полового акта, это то мгновенное чувство дружбы и милой симпатии, чувство растаявшего одиночества, которое не может дать антисексуальный механизм. Я за фактическую близость людей, за их дыхание рот в рот, за пару глаз, глядящие в упор в другие глаза, за ощущение души при половом грубейшем акте, за обогащение ее за счет другой встретившейся души. Я поэтому против Антисексуса. Я за живое, мучающееся, смешное, зашедшее в тупик человеческое существо, растратой тощих жизненных соков покупающее себе миг братства с иным вторичным существом. И еще потому я против всей этой механики, что я всегда стоял и буду стоять за конкретное, жалкое, смешное, но живое - и обещающее стать могущественным.

Чарли Чаплин<sup>74</sup>.

Примечание фирмы.

Принимая во внимание протест Ч.Чаплина, не избегая печатания отрицательных отзывов, фирма доводит до всеобщего сведения, что она уже поручила лучшим своим инженерам изыскать рациональную конструкцию нового Антисексуса, действующего не только на половую сферу, но и на высшие нервные центры одновременно, дабы механически создать те бесценные моменты ощущения общности с космосом и дружбы высшего смысла ко всему живому, о которых так исчерпывающе пожалел г.Чаплин.

Фирма полагает, что это ощущение общности жизни ей удастся создать не в виде отвлеченного чувства, а в виде милого конкретного образа женщины или мужчины, соответственно полу потребителя, - образа наиболее близкого, наиболее желанного нервно-психическому строю потребителя. Однако, фирма не надеется на широкое распространение аппаратов этого типа, ибо известно, что любовь, - а в отзыве г.Чаплина речь идет, очевидно, об истинной, хотя и преходящей, любви, любовь не есть свойство, общее всем людям, и расчеты на нее, мы полагаем, не могут коммерчески рентабельны. Любовь, как установила современная наука, есть психопатическое состояние, свойственное организмам с задатками нервного вырождения, а не здоровым деловым людям.

Но мы работаем не только для всех возрастов и всех народов, но также и для всех органических структур во всем их разнообразии, ибо фирма преследует цели нравственного благоустройства мира прежде всего.

По поручению фирмы,

г.Беркман<sup>75</sup>.

---

74 Личность выдающегося английского режиссера и киноактера Чарльза Спенсера Чаплина (1889-1977) привлекала внимание А.Платонова. Недаром он ввел его в число действующих лиц пьесы "Ноев ковчег (Каиново отродье)".

75 По-видимому, намек на американского анархиста русского происхождения Александра Беркмана (1870-1936). Эта гипотеза принадлежит американскому исследователю творчества А.Платонова Дж.Шепарду (см.: Shepard.J. The Origin of a Master: the Early Prose of Andrey Platonov. - Indiana University, Ph.D., 1973, p.185), который соотнес "Антисексус" с книгой А.Беркмана "Антиклимакс". (См.: Berkman A. The Anti- limax: The Concluding Chapter of My Russian Diary, the Bolshevik Myth. - Berlin. 1925). С 1892 по 1906 год А.Беркман находился в Америке в заключении за покушение на стального магната Генри Фрика. В 1917 году вторично осужден за антивоенную деятельность. В 1919 году Беркман был выслан из США в Россию, где занимался активной общественной деятельностью. После кронштадтского восстания 1921 года выслан в Европу. Автор книг и памфлетов, разоблачающих "большевицкий миф".

Сделав половой акт единоличным, вытеснив из него вторую живую половину, сделав половое отправление общедоступным, без всяких препятствий, - мы на прямой дороге к целомудрию, к господству омолаживающего принципа - использование выделений желез внутренней секреции в пределах самого организма.

Проф. Штейнах<sup>76</sup>.

При употреблении Антисексуса переживаешь молодость и после крепко спишь. Я не спал так хорошо за последние 25 лет. В моем организме открылись какие-то замершие было источники юности. Я очень благодарен фабрикантам Антисексуса. Моя дочь предложила мне основать институт Перманентной Юности имени гг. Беркмана, Шотлуа и сына его. Я дал согласие и деньги на это счастливое дело.

Морган<sup>77</sup>.

Мы потеряли с введением антисексуальных аппаратов известный комплекс красивых и мощных движений, сопутствующих божественной страсти. Об этом надо пожалеть.

Но мы приобрели известный половой комфорт, определенную экономию времени, равновесие здорового организма и независимость от женских капризов. Это надо приветствовать... Кроме того, я думаю, современное кино компенсирует утраченный комплекс половых движений, очистив их от привкуса бессознательного и зверско-стихийного, заменив их легким преодолением пространств могучим и девственным телом.

Дуг Фербенкс<sup>78</sup>.

Будущее принадлежит цивилизации, а не культуре: будущее завоеует душевно-мертвый, интеллектуально-пессимистический человек. В пошлой плоскости истинной

---

76 Штейнах Эйген (1861-1944) - австрийский физиолог и биолог. С 1907 года профессор Пражского университета. С 1912 года руководил физиологическим отделением Биологического института Австрийской Академии наук. Особую известность получили его работы, связанные с проблемой омоложения посредством пересадки половых желез у млекопитающих. Возможный прототип профессора Ф.Ф.Преображенского из повести М.А.Булгакова "Собачье сердце" (1925). (см. послесловие М.Чудаковой к публикации повести в журнале "Знамя", 1987, N 6, стр. 136.)

77 Морган Джон Пьерпонт (1867-1943) - американский банкир, миллиардер. В 1913 году возглавил один из крупнейших банков США, "Дж.П.Морган и Къ". Еще одна полярная пара - Штейнах и Морган.

78 Вполне последовательно появление в рассказе вместе с Ч.Чаплином имени популярного американского киноактера Дугласа Фербенкса (1863-1939), которое можно объяснить словами самого А.Платонова из его статьи 1931 года "Великая глухая": "За временный технический недостаток - беззвучность - кино было некогда прозвано великим немым. Этот условный образ теперь превратился в безусловный, хотя кино и заговорило, - хотя точнее следовало назвать теперь наше кино Великим Слепым: оно не видит того, на что действительно нужно наводить объектив съемочного аппарата.

Кино наше

слепо, как новорожденное существо, а большинство картин ничего не говорит напряженному сознанию человека: они немы абсолютно, а не технически".

(Первая публикация - журнал "Русская речь", 1988, N 4, стр. 53-55.)

цивилизации немислим брак - дух фаустовского стилиа, - там мыслимо лишь механическое освобождение от избытка сырых органических сил, не могущих сублимироваться в дух. Автомат "Антисексус" еще раз ознаменовал ту эпоху, в которую мы входим - цивилизацию - мертвое, удобное здание, фундамент которого уперт в зеленые травы живой, погибшей культуры.

Освальд Шпенглер<sup>79</sup>.

Автомат "Антисексус" чрезвычайно необходим при долгих путешествиях и очень удобен в пользовании. Эти автоматы совершенно необходимо теперь включить непременно элементами в оборудование каждой экспедиции, мало-мальски научно снаряженной. Наличие автоматов - лишний плюс для обеспечения успеха экспедиции.

Свен Гедин<sup>80</sup>.

Когда я был в России, я слышал песенку:

Хорошо тому живется,

Кто с молочницей живет:

Только ступит на порог,

Как сметана и творог!

Теперь, когда ежедневно беднеет Европа, и еще далеко не богата Россия, когда на каждого не придется по жене-молочнице, нужна механическая "молочница". Ее и призван заменить механизм "Антисексус". Ежегодно на проституцию тратит человечество около пятисот миллиардов рублей, не считая косвенных затрат здоровья, потери колоссального времени, наличия целого международного общественно вредного класса проституток и проституттов и пр. и т.п.

На эти сбережения, которые в сумме дадут около триллиона рублей в год, можно купить молока, сметаны и творога для каждого, не обуславливая такое сытное питание необходимостью иметь жену-молочницу.

Да. Но экономию в триллион в год, общедоступное молочное питание сделал ведь Антисексус!

Поэтому он действительнее любой самой революционной экономической реформы.

Кейнс<sup>81</sup>.

---

79 Шпенглер Освальд (1880-1936) - немецкий философ. С его основным трудом "Закат Европы" (1921-1923, русский перевод первого тома - 1923) А.Платонов был знаком: "Один немецкий буржуазный мудрец, Шпенглер по фамилии, пишет, что народы и культуры гибнут потому, что исчерпывается, стихает и блекнет их душа и дальше им нечего делать в жизни. Это, конечно, неправда" ("Человек и пустыня", 1924). А также: "Предшественниками Шпенглера были русские реакционные мистики Н.Данилевский в К.Леонтьев, а последователями всех их в России являлись Бердяев, Франк, Степун и др." ("О "ликвидации человечества", 1938). Можно предположить, что А.Платонов был знаком со сборником статей Н.А.Бердяева, Я.М.Букшпана, Ф.А.Степуна, С.А.Франка "Освальд Шпенглер и закат Европы" (М. "Берег". 1922. 95 стр.), который послужил одной из причин высылки в 1922 году из России большой группы профессоров, историков, литераторов. Об этой книге Ленин писал 5 марта 1922 года управляющему делами Совнаркома РСФСР Н.Горбунову: "По-моему, это похоже на "литературное прикрытие белогвардейской организации" (Полное собрание сочинений, т.54, стр.198).

80 Гедин Свен (1865-1952) - шведский путешественник. На русском языке были изданы его книги "В сердце Азии" (Спб. 1899, тт. 1-2; и то же: Спб. 1913) и "Тарам-Лоб-Нор-Тибет" (Спб. 1904).

Я не пишу, я обычно действую. Я рассматриваю антисексусы как необходимое вооружение каждого культурного человека, - вооружение, действительное и дома и на фронте. Наш король декретировал освобождение антисексусов от всякого налога и пошлины. Женщина, освобожденная от половых обязанностей и половых последствий, увеличит актив нашей страны. Для члена союза фашистов наличие антисексуса обязательно - его должен иметь каждый, - от римского нищего до нашего короля.

Муссолини.

82

Женщины проходят, как прошли крестовые походы. Антисексус нас застаёт как неизбежная утренняя заря. Но видно всякому: дело в форме, в стиле автоматической эпохи, а совсем не в существе, которого нет. На свете ведь не хватает одного - существования. Сладостный срам делается государственным обычаем, оставаясь сладостью. Жить можно уже не так тускло, как в презервативе.

Виктор Шкловский<sup>83\*16</sup>.

Примечание фирмы.

Не имея возможности поместить все отзывы здесь, фирма предполагает издать три тома, специально посвященные оценке наших аппаратов мировыми светилами ума, чувства, поэзии, науки, добра, пользы, социал-демократизма, финансов, политики, коммунизма, техники и эстетизма. В ближайшем томе будут помещены оценочные рассуждения гг. Л.Авербаха, Землячки, Корнелия Зелинского, Сун-Цзи-Лин, Бачелиса, Гроссман-Рощина, Детердинга, С.Буданцева, Лоуренса Виндроуэра, Осинского,

---

81 В рукописи и машинописной копии описка - "Клайнс". Кейнс Джон Мейнард (1883-1946) - английский экономист и публицист. С 1920 года профессор Кембриджского университета. В 1912-1946 годах редактор "Economic Journal". В России были известны его работы "Экономические последствия Версальского мира" (1919, русский перевод - 1922), "Пересмотр мирного договора" (1922, русский перевод 1922), "Трактат о денежной реформе" (1923, русский перевод - 1925). Несколько раз посещал Россию.

82 В машинописной копии здесь находился "отзыв" В.В.Маяковского, тщательно вымаранный А.Платоновым. Текст приводится по автографу: "Предлагается: то вещество, которое скопляется - оставляется в половой машине зря, - экономно собрать, построить фабрику в печь в ней лепешки, которые будет смачно жрать - тот, кто произвел сырье для изготовления этой лепешки. Таким образом экономия получится вдвойне: по Кейнсу (в тексте "по Клайвсу". - А.З.) выйдет ровно 2 триллиона в год. Человечество тогда получит: молоко, творог, сметану и лепешки - все взамен женской ножки. Владимир Маяковский".

Об отношении А.Платонова к Маяковскому см. статью "Размышления о Маяковском" (1940): "Итак, мы озабочены здесь единственной задачей - расширением и углублением понимания Маяковского. Эта задача содержит в себе одновременно и доверчивость к поэту, и утилитарную сторону дела. Маяковскому, вероятно, более всего понравилась бы именно утилитарная сторона дела, потому что в его утилитарности и заключается наивысшая политическая сила..."

83<sup>24</sup> Известны высказывания А.Платонова о В.Шкловском в его отзыве на первые номера журнала "ЛЕФ" ("Октябрь мысли", 1924, N 1, стр. 93-94) в рецензии "О Маяковском" Шкловского ("Литературная газета", 1940, 21 июля).

генерала По-лу-гуй, Тарасова-Родионова, проф. Вестингауза, Киршона и мн. др. уважаемых авторитетов.

Андрей Платонов,  
переводчик с французского.

### **Неодушевленный враг**

Человек, если он проживет хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, новозвращается обратно к жизни. Некоторые случаи своей близости к смертничеловек помнит, но чаще забывает их или вовсе оставляет их незамеченными. Смерть вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования,-- но лишь однажды ей удастся неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой жизни -- иногда с небрежным мужеством -- одолевал ее и отдалял от себя в будущее. Смерть победима,-- во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз. Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель. И это высшее мгновение жизни, когда она соединяется со смертью, чтобы преодолеть ее, обычно не запоминается, хотя этот миг является чистой, одухотворенной радостью.

Недавно смерть приблизилась ко мне на войне: воздушной волной от разрыва фугасного снаряда я был приподнят в воздух, последнее дыхание подавлено было во мне, и мир замер для меня, как умолкший, удаленный крик. Затем я был брошен обратно на землю и погребен сверху ее разрушенным прахом. Но жизнь сохранилась во мне; она ушла из сердца и оставила темным мое сознание, однако она укрылась в некоем тайном, может быть последнем, убежище в моем теле и оттуда робко и медленно снова распространилась во мне теплом и чувством привычного счастья существования.

Я отогрелся под землей и начал сознавать свое положение. Солдат оживает быстро, потому что он скуп на жизнь и при этой малой возможности он уже снова существует; ему жалко оставлять не только все высшее и священное, что есть на земле и ради чего он держал оружие, но даже сытную пищу в желудке, которую он поел перед сражением и которая не успела перевариться в нем и пойти на пользу. Я попробовал отгрестись от земли и выбраться наружу; но изнемогшее тело мое было теперь непослушным, и я остался лежать в слабости и во тьме; мне казалось, что и внутренности мои были потрясены ударом взрывной волны и держались непрочно,-- им нужен теперь покой, чтобы они приросли обратно изнутри к телу; сейчас же мне больно было совершить даже самое малое движение; даже для того, чтобы вздохнуть, нужно было страдать и терпеть боль, точно разбитые острые кости каждый раз впивались в мякоть моего сердца. Воздух для дыхания доходил до меня свободно через скважины в искрошенном прахе земли; однако жить долго в положении погребенного было трудно и нехорошо для живого солдата, поэтому я все время делал попытки повернуться на живот и выползти на свет. Винтовки со мной не было, ее, должно быть, вышиб воздух из моих рук при контузии,-- значит, я теперь вовсе беззащитный и бесполезный боец. Артиллерия гудела невдалеке от той осыпи праха, в которой я был схоронен; я понимал по звуку, когда били наши пушки и пушки врага, и моя будущая судьба зависела теперь от того, кто займет эту разрушенную, могильную землю, в которой я лежу почти без сил. Если эту землю займут немцы, то мне уж не придется выйти отсюда, мне не придется более поглядеть на белый свет и на милое русское поле.

Я приноровился, ухватил рукою корешок какой-то былинки, повернулся телом на живот и прополз в сухой раскрошенной земле шаг или полтора, а потом опять лег лицом в прах, оставшись без сил. Полежав немного, я опять приподнялся, чтобы ползти помаленьку дальше на свет. Я громко вздохнул, собирая свои силы, и в это же время услышал близкий вздох другого человека.

Я протянул руку в комья и сор земли и нащупал пуговицу и грудь неизвестного человека, так же погребенного в этой земле, что и я, и так же, наверно, обессилевшего. Он лежал почти рядом со мною, в полметре расстояния, и лицо его было обращено ко мне,-- я это установил по теплым легким волнам его дыхания, доходившим до меня. Я спросил неизвестного по-русски, кто он такой и в какой части служит. Неизвестный молчал. Тогда я повторил свой вопрос по-немецки, и неизвестный по-немецки ответил мне, что его зовут Рудольф Оскар Вальц, что он унтер-офицер 3-й роты автоматчиков из батальона мотопехоты. Затем он спросил меня о том же, кто я такой и почему я здесь. Я ответил ему, что я русский рядовой стрелок и что я шел в атаку на немцев, пока не упал без памяти. Рудольф Оскар Вальц умолк; он, видимо, что-то соображал, затем резко пошевелился, опробовал рукою место вокруг себя и снова успокоился.

-- Вы свой автомат ищите? -- спросил я у немца.

-- Да,-- ответил Вальц.-- Где он?

-- Не знаю, здесь темно,-- сказал я,-- и мы засыпаны землею. Пушечный огонь снаружи стал редким и прекратился вовсе, но зато усилилась стрельба из винтовок, автоматов и пулеметов.

Мы прислушались к бою; каждый из нас старался понять, чья сила берет перевес -- русская или немецкая и кто из нас будет спасен, а кто уничтожен.

Но бой, судя по выстрелам, стоял на месте и лишь ожесточался и гремел все более яростно, не приближаясь к своему решению. Мы находились, наверно, в промежуточном пространстве боя, потому что звуки выстрелов той и другой стороны доходили до нас с одинаковой силой, и вырывающаяся ярость немецких автоматов погашалась точной, напряженной работой русских пулеметов. Немец Вальц опять заворочался в земле; он ощупывал вокруг себя руками, отыскивая свой потерянный автомат.

-- Для чего вам нужно сейчас оружие? -- спросил я у него.

-- Для войны с тобою,-- , сказал мне Вальц.-- А где твоя винтовка?

-- Фугасом вырвало из рук,-- ответил я.-- Давай биться врукопашную. Мы подвинулись один к другому, и я его схватил за плечи, а он меня за горло. Каждый из нас хотел убить или повредить другого, но, надыхавшись земляным сором, стесненные навалившейся на нас почвой, мы быстро обессилели от недостатка воздуха, который был нам нужен для частого дыхания в борьбе, и замерли в слабости. Отдыхавшись, я потрогал немца -- не отдалился ли он от меня, и он меня тоже тронул рукой для проверки. Бой русских с фашистами продолжался вблизи нас, но мы с Рудольфом Вальцем уже не вникали в него; каждый из нас вслушивался в дыхание другого, опасаясь, что тот тайно уползет вдаль, в темную землю, и тогда трудно будет настигнуть его, чтобы убить.

Я старался как можно скорее отдохнуть, отдышаться и пережить слабость своего тела, разбитого ударом воздушной волны; я хотел затем схватить фашиста, дышащего рядом со мной, и прервать руками его жизнь, превозмочь навсегда это странное существо, родившееся где-то далеко, но пришедшее сюда, чтобы погубить меня. Наружная стрельба и шорох земли, оседающей вокруг нас, мешали мне слушать дыхание Рудольфа Вальца, и он мог незаметно для меня удалиться. Я понюхал воздух и понял, что от Вальца пахло не так, как от русского солдата,-- от его одежды пахло дезинфекцией -- и какой-то чистой, но неживой химией; шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитою овчиной. Но и этот немецкий запах Вальца не мог бы помочь мне все время чувствовать врага, что он здесь, если б он захотел уйти, потому что, когда лежишь в земле, в ней пахнет еще многим, что рождается и хранится в ней,-- и корнями ржи, и тлением отживших трав, и созревшими семенами, зачавшими новые былинки,-- и поэтому химический мертвый запах немецкого солдата растворился в общем густом дыхании живой земли.

Тогда я стал разговаривать с немцем, чтобы слышать его.

-- Ты зачем сюда пришел? -- спросил я у Рудольфа Вальца.-- Зачем лежишь в нашей земле?

-- Теперь это наша земля. Мы, немцы, организуем здесь вечное счастье, довольство, порядок, пищу и тепло для германского народа, с отчетливой точностью и скоростью ответил Вальц.

-- А мы где будем? -- спросил я. Вальц сейчас же ответил мне:

-- Русский народ будет убит, -- убежденно сказал он. -- А кто останется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и в лед, а кто смиренный будет и признает в Гитлере божьего сына, тот пусть работает на нас всю жизнь и молит себе прощение на могилах германских солдат, пока не умрет, а после смерти мы утилизируем его труп в промышленности и простим его, потому что больше его не будет.

Все это было мне приблизительно известно, в желаниях своих фашисты были отважны, но в бою их тело покрывалось гусиной кожей, и, умирая, они припадали устами к лужам, утоляя сердце, засыхающее от страха... Это я видел сам не однажды.

-- Что ты делал в Германии до войны? -- спросил я далее у Вальца. И он с готовностью сообщил мне:

-- Я был конторщиком кирпичного завода "Альфред Крейцман и сын". А теперь я солдат фюрера, теперь я воин, которому вручена судьба всего мира и спасение человечества.

-- В чем же будет спасение человечества? -- спросил я у своего врага.

Помолчав, он ответил: -- Это знает один фюрер.

-- А ты? -- спросил я у лежащего человека. -- Я не знаю ничего, я не должен знать, я меч в руке фюрера, созидающего новый мир на тысячу лет. Он говорил гладко и безошибочно, как граммофонная пластинка, но голос его был равнодушен. И он был спокоен, потому что был освобожден от сознания и от усилия собственной мысли. Я спросил его еще: -- А ты сам-то уверен, что тогда будет хорошо? А вдруг тебя обманут?

Немец ответил:

-- Вся моя вера, вся моя жизнь принадлежит Гитлеру.

-- Если ты все отдал твоему Гитлеру, а сам ничего не думаешь, ничего не знаешь и ничего не чувствуешь, то тебе все равно -- что жить, что не жить, -- сказал я Рудольфу Вальцу и достал его рукой, чтобы еще раз побиться с ним и одолеть его.

Над нами, -поверх сыпучей земли, в которой мы лежали, началась пушечная канонада. Обхватив один другого, мы с фашистом ворочались в тесном комковатом грунте, давящем нас. Я желал убить Вальца, но мне негде было размахнуться, и, ослабев от своих усилий, я оставил врага; он бормотал мне что-то и бил меня в живот кулаком, но я не чувствовал от этого боли.

Пока мы ворочались в борьбе, мы обмяли вокруг себя сырую землю, и у нас получилась небольшая удобная пещера, похожая и на жилище и на могилу, и я лежал теперь рядом с неприятелем. Артиллерийская пальба наружи вновь переменилась; теперь опять стреляли лишь автоматы и пулеметы; бой, видимо, стоял на месте без решения, он забурился, как говорили красноармейцы-горняки.

Выйти из земли и уползти к своим мне было сейчас невозможно, -- только даром будешь подранен или убит. Но и лежать здесь во время боя бесполезно -- для меня было совестно и неуместно. Однако под руками у меня был немец, я взял его за ворот, рванул противника поближе к себе и сказал ему.

-- Как же ты посмел воевать с нами? Кто же вы такие есть и отчего вы такие?

Немец не испугался моей силы, потому что я был слаб, но он понял мою серьезность и стал дрожать. Я не отпускал его и держал насильно при себе; он припал ко мне и тихо произнес:

-- Я не знаю...

-- Говори -- все равно! Как это ты не знаешь, раз на свете живешь и нас убивать пришел! Ишь ты, фокусник! Говори,-- нас обоих, может, убьет и завалит здесь,-- я хочу

знать! Бой поверх нас шел с равномерностью неспешной работы: обе стороны терпеливо стреляли; ощупывая одна другую для сокрушительного удара.

-- Я не знаю,-- повторил Вальц.-- Я боюсь. Я вылезу сейчас. Я пойду к своим, а то меня расстреляют: обер-лейтенант скажет, что я спрятался во время боя.

-- Ты никуда не пойдешь! -- предупредил я Вальца -- Ты у меня в плену!

-- Немец в плену бывает временно и короткий срок, а у нас все народы будут в плену вечно! -- отчетливо и скоро сообщил мне Вальц -- Враждебные народы, берегите и почитайте пленных германских воинов! -- воскликнул он вдобавок, точно обращался к тысячам людей.

-- Говори, -- приказал я немцу, -- говори, отчего ты такой непохожий на человека, отчего ты нерусский.

-- Я нерусский потому, что рожден для власти и господства под руководством Гитлера! -- с прежней быстротой и заученным убеждением пробормотал Вальц; но странное безразличие было в его ровном голосе, будто ему самому не в радость была его вера в будущую победу и в господство надо всем миром. В подземной тьме я не видел лица Рудольфа Вальца, и я подумал, что, может быть, его нет, что мне лишь кажется, что Вальц существует, -- на самом же деле он один из тех ненастоящих, выдуманных людей, в которых мы играли в детстве и которых мы воодушевляли своей жизнью, понимая, что они в нашей власти и живут лишь нарочно. Поэтому я приложил свою руку к лицу Вальца, желая проверить его существование; лицо Вальца было теплое, значит, этот человек действительно находился возле меня.

-- Это все Гитлер тебя напугал и научил, -- сказал я противнику. -- А какой же ты сам по себе? Я расслышал, как Вальц вздрогнул и вытянул ноги -- строго, как в строю.

-- Я не сам по себе, я весь по воле фюрера! -- отрапортовал мне Рудольф Вальц.

-- А ты бы жил по своей воле, а не фюрера! -- сказал я врагу.-- И прожил бы ты тогда дома до старости лет, и не лег бы в могилу в русской земле.

-- Нельзя, недопустимо, запрещено, карается по закону! -- воскликнул немец. Я не согласился:

-- Стало быть, ты что же,-- ты ветوشка, ты тряпка на ветру, а не человек!

-- Не человек! -- охотно согласился Вальц. -- Человек есть Гитлер, а я нет. Я тот; кем назначит меня быть фюрер! Бой сразу остановился на поверхности земли, и мы, прислушиваясь к тишине, умолкли. Все стало тихо, будто бившиеся люди разошлись в разные стороны и оставили место боя пустым навсегда. Я насторожился, потому что мне теперь было страшно; прежде я постоянно слышал стрельбу своих пулеметов и винтовок, и я чувствовал себя под землей спокойно, точно стрельба нашей стороны была для меня успокаивающим гулом знакомых, родных голосов. А сейчас эти голоса вдруг сразу умолкли.

Для меня наступила пора пробираться к своим, но прежде следовало истребить врага, которого я держал своей рукой.

-- Говори скорей! -- сказал я Рудольфу Вальцу. -- Мне некогда тут быть с тобой.

Он понял меня, что я должен убить его, и припал ко мне, прильнув лицом к моей груди. И втихомолку, но мгновенно он наложил свои холодные худые руки на мое горло и сжал мне дыхание. Я не привык к такой манере воевать, и мне это не понравилось. Поэтому я ударил немца в подбородок, он отодвинулся от меня и замолк.

-- Ты зачем так нахально действуешь! -- заявил я врагу.-- Ты на войне сейчас, ты должен быть солдатом, а ты хулиганишь. Я сказал тебе, что ты в плену,-- значит, ты не уйдешь, и не: царпайся!

-- Я обер-лейтенанта боюсь,-- прошептал неприятель. -- Пусти меня, пусти меня скорей -- я в бой пойду, а то обер-лейтенант не поверит мне, он скажет, -- я прятался, и велит убить меня. Пусти меня, я семейный. Мне одного русского нужно убить.

Я взял врага рукою за ворот и привлек его к себе обратно.

-- А если ты не убьешь русского? -- Убью, -- говорил Вальц.-- Мне надо убивать, чтобы самому жить. А если я не буду убивать, то меня самого убьют или посадят в тюрьму, а там тоже умрешь от голода и печали, или на каторжную работу осудят -- там скоро обессилеешь, состаришься и тоже помрешь.

-- Так тебя тремя смертями сзади пугают, чтобы ты одной впереди не боялся, -- сказал я Рудольфу Вальцу.

-- Три смерти сзади, четвертая смерть впереди! -- сосчитал немец. -- Четвертой я не хочу, я сам буду убивать, я сам буду жить! -- вскричал Вальц.

Он теперь он боялся меня, зная, что я безоружный, как и он.

-- Где, где ты будешь жить? -- спросил я у врага. Гитлер гонит тебя вперед страхом трех смертей, чтобы ты не боялся одной четвертой. Долго ли ты проживешь в промежутке между своими тремя смертями и нашей одной?

Вальц молчал; может быть, он задумался. Но я ошибся -- он не думал.

-- Долго,-- сказал он. -- Фюрер знает все, он считал -- мы вперед убьем русский народ, нам четвертой смерти не будет.

-- А если тебе одному она будет? -- поставил я дурному врагу.—Тогда ты как обойдешься?

-- Хайль Гитлер! -- воскликнул Вальц. -- Он не оставит мое семейство: он даст хлеб жене и детям хоть по сто граммов на один рот.

-- И ты за сто граммов на едока согласен пог ибнуть?

-- Сто граммов -- это тоже можно тихо, экономно жить, -- сказал лежачий немец.

-- Дурак ты, идиот и холуй, -- сообщил я неприятелю. -- Ты и детей своих согласен обречь на голод ради Гитлера.

-- Я вполне согласен, -- охотно и четко сказал Рудольф Вальц. -- Мои дети получают тогда вечную благодарность и славу отечества.

-- Ты совсем дурной, -- сказал я немцу. -- целый мир будет кружиться вокруг одного ефрейтора?

-- Да, -- сказал Вальц, -- он будет кружиться, потому что он будет бояться.

-- Тебя, что ль? -- спросил я врага.

-- Меня, - уверенно ответил Вальц.

-- Не будет он тебя бояться, -- сказал я противнику. -- Отчего ты такой мерзкий?

-- Потому что фюрер Гитлер теоретически сказал, что человек есть грешник и сволочь от рождения. А как фюрер ошибаться не может, значит, я тоже должен быть сволочью.

Немец вдруг обнял меня и попросил, чтоб я умер.

-- Все равно ты будешь убит на войне,-- говорил мне Вальц. -- Мы вас победим, и вы жить не будете. А у меня трое детей на родине и слепая мать. Я должен быть храбрым на войне, чтоб их там кормили. Мне нужно убить тебя, тогда обер-лейтенант будет и он даст обо мне хорошие сведения. Умри, пожалуйста. Тебе все равно не надо жить, тебе не полагается. У меня есть перочинный нож, мне его подари я кончил школу, я его берегу... Только давай скорее - я соскучился в России, я хочу- в свой святой фатерлянд, я хочу домой в свое семейство, а ты никогда домой не вернешься...

Я молчал; потом я ответил:

-- Я не буду помирать за тебя,

-- Будешь! -- произнес Вальц.-- Фюрер сказал: русским -- смерть. Как же ты не будешь!

-- Не будет нам смерти! -- сказал я врагу, и с беспамятством ненависти, возродившей мощь моего сердца, я обхватил и сжал тело Рудольфа Вальца в своих руках. Затем мы в борьбе незаметно миновали сыпучий грунт и вывалились наружу, под свет звезд. Я видел этот свет, но Вальц глядел на них уже неморгающими глазами: он был мертв, и я не запомнил, как умертвил его, в какое время тело Рудольфа Вальца стало

неодушевленным. Мы оба лежали, точно свалившись в пропасть с великой горы, пролетев страшное пространство высоты молча и без сознания.

Маленький комар-полуночник сел на лоб покойника и начал помаленьку сосать человека. Мне это доставило удовлетворение, потому что у комара больше души и разума, чем в Рудольфе Вальце -- живом или мертвом, все равно; комар живет своим усилием и своей мыслью, сколь бы она ни была ничтожна у него,-- у комара нет Гитлера, и он не позволяет ему быть. Я понимал, что и комар, и червь, и любая былинка -- это более одухотворенные, полезные и добрые существа, чем только что существовавший живой Рудольф Вальц. Поэтому пусть эти существа пережуют, иссосут и раскрошат фашиста: они совершат работу одушевления мира своей кроткой жизнью.

Но я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила движение смерти в мире; я сам стал смертью для своего неодушевленного врага и обратил его в труп, чтобы силы живой природы размололи его тело в прах, чтобы едкий гной его существа пропитался в землю, очистился там, осветился и стал обычной влагой, орошающей корни травы

## Михаил Булгаков

### Об авторе:

*Михаил Булгаков родился 15 мая 1891 в Киеве. Его отец был человеком интеллигентным, он был профессор в Киевской духовной академии. Естественно, рождение в такой семье стало залогом хорошего образования. Будущему писателю чрезвычайно повезло, он учился в лучшей киевской гимназии, которая носила название Первой гимназии.*

*Булгаков успешно отучился и окончил гимназию в 1909 году. В школе его считали примерным и очень способным учеником. На протяжении всей дальнейшей жизни Булгаков учился, и о карьере писателя даже не помышлял. Об этом говорит и то, что он решил развиваться по естественной линии, то есть, проще говоря, он решил стать врачом, для чего поступил на медицинский факультет Киевского университета.*

*В 1916 Михаил окончил вуз и, получив диплом, стал работать врачом в селе Никольское Смоленской губернии. Вскоре по распределению он попал в город Вязьмы. Еще студентом Булгаков начал писать прозу, связанную с медициной. Но, тем не менее, «литературные позывы» у будущего писателя уже были. Когда в 1919 в Киев вошла Добровольческая армия белых, Булгаков был призван на фронт в качестве военного врача. Ему пришлось на некоторое время уехать на Северный Кавказ. Выполняя свои медицинские обязанности, Булгаков продолжал писать.*

*Как он стал писателем? Об этом ходит множество слухов и толкований. Многие после выхода в свет романа «Мастер и Маргарита» говорили, что талант Булгакова не иначе, как носит чертовской характер, не может обычный человек настолько четко выписать самого дьявола и его свиту. Но об этом почитатели таланта никогда не узнают.*

*Официальные данные, которыми обладают все исследователи творчества Булгакова, значительно проще и банальнее. Сам писатель говорит следующее. В «Автобиографии», написанной в 1924 году, он сообщил: «Как-то ночью, в 1919 году, глухой осенью, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов». Первый фельетон Булгакова «Грядущие перспективы», опубликованный с инициалами М.Б. в газете «Грозный» в 1919 году сразу же был замечен критиками как серьезная угроза для подрыва существующего строя. В фельетоне автор давал жесткую и ясную картину экономического состояния России. «Оно таково, что глаза... хочется закрыть», - пессимистично пишет Булгаков. Надо сказать, что его мысли в отношении будущего страны не более оптимистичны.*

*Булгаков предвидел войну и нищету той страны, которую любил «до безрассудства, до безумия». Ни в те дни, ни потом писатель не питал иллюзий относительно «очистительной силы» революции, видя в ней лишь воплощение социального зла.*

*В марте 1917 года молодой земский врач Михаил вернулся из отпуска в родное село. Отпуск он проводил в Саратове и Москве. То, что приходилось видеть молодому врачу на протяжении всего отпуска словно нож ранило сердце молодого Булгакова. Помимо революции на улицах постоянно появлялись больные с симптомами сифилиса, от которого каждый день доктор толпами лечил бежавших с фронта в родные деревни солдат. В один из таких дней ему пришлось отсасывать ртом через трубочку дифтеритные пленки из горла тяжелобольного мальчика.*

*Одна из пленок попала в рот самого врача, от страшной боли могла спасти только инъекция морфия. Шприц со спасительным раствором принес покой и отдых от нестерпимой боли. Прошло несколько дней, Булгаков вылечился, и необходимость в морфии отпала, но доктор не спешил отказываться от чудесного действия белого кристаллического порошка. Более того, Булгаков стал принимать его два раза в день. Через какое-то время Булгаков мог писать только после дозы, он садился за стол и начинал писать, пытаясь передать то, что открывалось тогда его мысленному взору. К счастью через некоторое время Булгакову удалось выбраться из сладкого рая. Жена Булгакова вовремя заметила нездоровую привязанность писателя к наркотику.<sup>84</sup>*

## Воспаление мозгов

### Посвящается всем редакторам еженедельных журналов

В правом кармане брюк лежали 9 копеек - два трехкопеечника, две копейки и копейка, и при каждом шаге они брэнчали, как шпоры. Прохожие косились на карман.

Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре! Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике и прикрыты волосами и фуражкой с белым верхом. Лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат.

А копейки - брень-брень.

У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги: "Щи суточные, севрюжка паровая, обед из 2-х блюд - 1 рубль".

Вынул девять копеек и выбросил их в канаву. К девяти копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном сапоге, отдал деньгам честь и прокричал:

- Спасибо от адмирала морских сил. Ура!

Затем он подобрал медяки и запел громким и тонким голосом:

Ата-цвели уж давно-о!

Хэ-ри-зан-темы в саду-у!..

Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня, на жару, на Тверской, адмирал в одном сапоге пел.

Тут за мной пошли многие и говорили со мной:

- Гуманный иностранец, пожалуйста и мне 9 копеек. Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил.

- Профессор, окажите любезность...

А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мною на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом:

---

84 По материалам сайта: <http://masterapera.ru/index.php>

У Калужской заставы Жил разбойник и вор - Камаров!

Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить.

- Предположим так. Начало: жара, и я иду, и вот мальчишка. Прыгает. Беспризорный. И вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом. Светлая личность. Описать его. Ну, предположим, такой: молодой, голубые глаза. Бритый? Ну, скажем, бритый. Или с маленькой бородкой. Баритон. И говорит: Мальчик, мальчик. - А что дальше? Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик...

"И в фартуке", - вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. "Кто в фартуке?" - спросил я у мозгов удивленно. - "Да этот, твой детдом".

"Дураки", - ответил я мозгам.

"Ты сам дурак. Бесталанный, - ответили мне мозги, - посмотрим, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ. Графоман!"

Не в фартуке, а в халате...

"Почему он в халате, ответь, кретин?" - спросили мозги.

"Ну, предположим, что он только что работал, например, делал перевязку ноги больной девочке и вышел купить папирос "Трест". Тут же можно описать моссельпромщицу. И вот он говорит:

- Мальчик, мальчик... А сказавши это (я потом присочиню, что он сказал), берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька (мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают) уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые, и назвать рассказ: "Петька спасен". В журналах любят такие заглавия".

"Па-аршивенький рассказ, - весело бухнуло под фуражкой, - и тем более, что мы где-то уже это читали!"

- Молчать, я погибаю! - приказал я мозгам и открыл глаза.

Передо мною не было адмирала и Черномора и не было моих часов в кармане брюк.

Я пересек улицу и подошел к милиционеру, высоко поднявшему жезл.

- У меня часы украли сейчас, - сказал я.

- Кто? - спросил он.

- Не знаю, - ответил я.

- Ну, тогда пропали, - сказал милиционер.

От таких его слов мне захотелось сельтерской воды.

- Сколько стоит один стакан сельтерской? - спросил я в будочке у женщины.

- 10 копеек, - ответила она.

Спросил я ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные 9 копеек.

И развеселился и немного оживился при мысли, что жалеть не следует.

"Предположим - милиционер. И вот подходит к нему гражданин..."

"Ну-те-с?" - осведомились мозги.

- Н-да, и говорит: часы у меня свиснули. А милиционер, выхватывает револьвер и кричит: "Стой!! Ты украл, подлец". Свистит. Все бегут. Ловят вора-рецидивиста. Кто-то падает. Стрельба.

"Все?" - спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове. "Все".

"Замечательно, прямо-таки гениально, - рассмеялась голова и стала стучать, как часы, - но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии. Все это, т. е. кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старорежимный городской. Неспа [Не так ли? (фр.)], товарищ Бенвенутто Челлини".

Дело в том, что мой псевдоним - Бенвенутто Челлини. Я придумал его пять дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они поместили: "Бенвенутто Челлини" в книгах авансов рядом с моей фамилией. 5 червонцев, например, за Б. Челлини.

Или так: извозчик No 2579. И седок забыл портфель с важными бумагами из Сахаротреста. И честный извозчик доставил портфель в Сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили.

"Мы этого извозчика помним, - сказали, остервенясь, воспаленные мозги, - еще по приложениям в марксовской "Ниве". Раз пять мы его там встречали, набранного то петитом, то корпусом, только седок служил тогда не в Сахаротресте, а в Министерстве внутренних дел". Умолкни! Вот и редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить. Где рассказик?.."

По шаткой лестнице я вошел в редакцию с развязным видом и громко напевая:

И за Сеню я!

За кирпичики,

Полюбил кирпичный завод.

В редакции, зеленея от жары в тесной комнате, сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще двое праздношатающихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира.

- Кирпичики кирпичиками, - сказал заведующий, - а вот где обещанный рассказ?

- Представьте, какой гротеск, - сказал я, улыбаясь весело, - у меня сейчас часы украли на улице.

Все промолчали.

- Вы мне обещали сегодня дать денег, - сказал я и вдруг в зеркале увидел, что я похож на пса под трамваем.

- Нету денег, - сухо ответил заведующий, и по лицам я увидел, что деньги есть.

- У меня есть план рассказа. Вот чудак вы, - заговорил я тенором, - я в понедельник его принесу к половине второго.

- Какой план рассказа?

- Хм... В одном доме жил священник...

Все заинтересовались. Праздношатающиеся подняли головы.

- Ну?

- И умер.

- Юмористический? - спросил редактор, сдвигая брови.

- Юмористический, - ответил я, утопая.

- У нас уже есть юмористика. На три номера. Сидоров написал, - сказал редактор. - Дайте что-нибудь авантюрное.

- Есть, - ответил я быстро, - есть, есть, как же!

- Расскажите план, - сказал, смягчась, заведующий.

- Кхе... Один нэпман поехал в Крым...

- Дальше-с!

Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок, и вымолвил:

- Ну и у него украли бандиты чемодан.

- На сколько строк это?

- Строк на триста. А впрочем, можно и... меньше. Или больше.

- Напишите расписку на 20 рублей, Бенвенутто, - сказал заведующий, - но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу.

Я сел писать расписку с наслаждением. Но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными запекшимися щелями. Умерли.

Кассир, было, запротестовал. Я слышал его резкий скворешный голос:

- Не дам я вашему Чинизелли ничего. Он и так перебрал уже 60 целковых.

- Дайте, дайте, - приказал заведующий.

И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный, с трещиной посередине.

Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мною поставили толстую кружку пива. "Сделаем опыт, - говорил я кружке, - если они не оживут после пива, - значит, конец. Они померли - мои мозги, вследствие писания рассказов, и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получают обратно аванс". Эта мысль меня насмешила, я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, жилы набухли, и съезжившиеся желтки расправились в костяном ящике.

- Живы? - спросил я.

"Живы", - ответили они шепотом.

- Ну, теперь сочиняйте рассказ!

В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил один за полтора рубля. Потом пришел глухонемой и продал мне две открытки в желтом конверте с надписью:

"Граждане, помогите глухонемому".

На одной открытке стояла елка в ватном снегу, а на другой был заяц с аэропланскими ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем, в жилах моих бежала пенная пивная кровь. В окнах сияла жара, плавился асфальт. Глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому:

- Катись отсюда колбасой со своими ножиками. Какое ты имеешь право в моем Филиппове торговать? Уходи в "Эльдорадо"!

- Предположим так, - начал я, пламенея, - улица гремела, со свистом соловьиным прошла мотоциклетка. Желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами (автобус)!..

- "Здорово пошло дело, - заметили выздоровевшие мозги, - спрашивай еще пиво, чини карандаш, сыпь дальше... Вдохновенье, вдохновенье".

Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта-Таузига, под хлопанье тарелок, под звон серебра.

Я писал рассказ в "Иллюстрацию", мозги пели под военный марш:

Что, сеньор мой,

Вдохновенье мне дано?

Как ваше мнение?!

Жара! Жара!

1926

## Записки покойника

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Предупреждаю читателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого отношения и достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах.

Как раз в день самоубийства Сергея Леонтьевича Максудова, которое произошло в Киеве весной прошлого года, я получил посланную самоубийцей заблаговременно толстейшую бандероль и письмо.

В бандероли оказались эти записки, а письмо было удивительного содержания: Сергей Леонтьевич заявлял, что, уходя из жизни, он дарит мне свои записки с тем, чтобы я, единственный его друг, выправил их, подписал своим именем и выпустил в свет.

Странная, но предсмертная воля!

В течение года я наводил справки о родных или близких Сергея Леонтьевича. Тщетно! Он не солгал в предсмертном письме - никого у него не осталось на этом свете.

И я принимаю подарок.

Теперь второе: сообщаю читателю, что самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел, оставаясь тем, чем он и был, маленьким

сотрудником газеты "Вестник пароходства", единственный раз выступившим в качестве беллетриста, и то неудачно - роман Сергея Леонтьевича не был напечатан.

Таким образом, записки Максудова представляют собою плод его фантазии, и фантазии, увы, большой. Сергей Леонтьевич страдал болезнью, носящей весьма неприятное название - меланхолия.

Я, хорошо знающий театральную жизнь Москвы, принимаю на себя ручательство в том, что ни таких театров, ни таких людей, какие выведены в произведении покойного, нигде нет и не было.

И наконец, третье и последнее: моя работа над записками выразилась в том, что я озаглавил их, затем уничтожил эпиграф, показавшийся мне претенциозным, ненужным и неприятным.

Этот эпиграф был:

"Коемуждо по делом его..."

И, кроме того, расставил знаки препинания там, где их не хватало.

Стиль Сергея Леонтьевича я не трогал, хотя он явно неряшлив. Впрочем, что же требовать с человека, который через два дня после того, как поставил точку в конце записок, кинулся с Цепного моста вниз головой.

Итак...

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Глава 1. НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить захотелось.

В сером новом моем костюме и довольно приличном пальто я шел по одной из центральных улиц столицы, направляясь к месту, в котором никогда еще не был. Причиной моего движения было лежащее у меня в кармане внезапно полученное письмо. Вот оно:

1 Глубокопочитаемый Сергей Леонтьевич!

1 До крайности хотел бы познакомиться с Вами, а равно также

1 переговорить по одному таинственному делу, которое может быть очень и

1 очень безынтересно для Вас.

1 Если Вы свободны, я был бы счастлив встретиться с Вами в здании

1 Учебной сцены Независимого Театра в среду в 4 часа.

1 С приветом К. Ильчин

Письмо было написано карандашом на бумаге, в левом углу которой было напечатано:

1 Ксаверий Борисович Ильчин

1 режиссер Учебной сцены

1 Независимого Театра

Имя Ильчина я видел впервые, не знал, что существует Учебная сцена. О Независимом Театре слышал, знал, что это один из выдающихся театров, но никогда в нем не был.

Письмо меня чрезвычайно заинтересовало, тем более что никаких писем я вообще тогда не получал. Я, надо сказать, маленький сотрудник газеты "Пароходство". Жил я в то время в плохой, но отдельной комнате в седьмом этаже в районе Красных ворот у Хомутовского тупика.

Итак, я шел, вдыхая освеженный воздух и размышляя о том, что гроза ударит опять, а также о том, каким образом Ксаверий Ильчин узнал о моем существовании, как он разыскал меня и какое дело может у него быть ко мне. Но сколько я ни раздумывал, последнего понять не мог и наконец остановился на мысли, что Ильчин хочет поменяться со мной комнатой.

Конечно, надо было Ильчину написать, чтобы он пришел ко мне, раз что у него дело ко мне, но надо сказать, что я стыдился своей комнаты, обстановки и окружающих людей. Я вообще человек странный и людей немного боюсь. Вообразите, входит Ильчин и видит диван, а обшивка распорота и торчит пружина, на лампочке над столом абажур сделан из газеты, и кошка ходит, а из кухни доносится ругань Аннушки.

Я вошел в резные чугунные ворота, увидел лавчонку, где седой человек торговал нагрудными значками и оправой для очков.

Я перепрыгнул через затихающий мутный поток и оказался перед зданием желтого цвета и подумал о том, что здание это построено давно, давно, когда ни меня, ни Ильчина еще не было на свете.

Черная доска с золотыми буквами возвещала, что здесь Учебная сцена. Я вошел, и человек маленького роста с бородавкой, в куртке с зелеными петлицами, немедленно преградил мне дорогу.

- Вам кого, гражданин? - подозрительно спросил он и растопырил руки, как будто хотел поймать курицу.

- Мне нужно видеть режиссера Ильчина, - сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал надменно.

Человек изменился чрезвычайно, и на моих глазах. Он руки опустил по швам и улыбнулся фальшивой улыбкой.

- Ксаверия Борисыча? Сию минут-с. Пальтецо пожалуйте. Калошек нету?

Человек принял мое пальто с такой бережностью, как будто это было церковное драгоценное облачение.

Я подымался по чугунной лестнице, видел профили воинов в шлемах и грозные мечи под ними на барельефах, старинные печи-голландки с отдушниками, начищенными до золотого блеска.

Здание молчало, нигде и никого не было, и лишь с петличками человек плелся за мной, и, оборачиваясь, я видел, что он оказывает мне молчаливые знаки внимания, преданности, уважения, любви, радости по поводу того, что я пришел и что он, хоть и идет сзади, но руководит мною, ведет меня туда, где находится одинокий, загадочный Ксаверий Борисович Ильчин. И вдруг потемнело, голландки потеряли свой жирный беловатый блеск, тьма сразу обрушилась - за окнами зашумела вторая гроза. Я стукнул в дверь, вошел и в сумерках увидел наконец Ксаверия Борисовича.

- Максудов, - сказал я с достоинством.

Тут где-то далеко за Москвой молния распоролла небо, осветив на мгновение фосфорическим светом Ильчина.

- Так это вы, достолюбезный Сергей Леонтьевич! - сказал, хитро улыбаясь, Ильчин.

И тут Ильчин увлек меня, обнимая за талию, на такой точно диван, как у меня в комнате, - даже пружина в нем торчала там же, где у меня, - посередине.

Вообще и по сей день я не знаю назначения той комнаты, в которой состоялось роковое свидание. Зачем диван? Какие ноты лежали растрепанные на полу в углу? Почему на окне стояли весы с чашками? Почему Ильчин ждал меня в этой комнате, а не, скажем, в соседнем зале, в котором в отдалении смутно, в сумерках грозы, рисовался рояль?

И под воркотню грома Ксаверий Борисович сказал зловеще:

- Я прочитал ваш роман.

Я вздрогнул.

Дело в том ...

## Глава 2. ПРИСТУП НЕВРАСТЕНИИ

Дело в том, что, служа в скромной должности читальщика в "Пароходстве", я эту свою должность ненавидел и по ночам, иногда до утренней зари, писал у себя в мансарде роман. Он зародился однажды ночью, когда я проснулся после грустного сна. Мне снился родной город, снег, зима, гражданская война... Во сне прошла передо мною беззвучная вьюга, а затем появился старенький рояль и возле него люди, которых нет уже на свете. Во сне меня поразило мое одиночество, мне стало жаль себя. И проснулся я в слезах. Я зажег свет, пыльную лампочку, подвешенную над столом. Она осветила мою бедность - дешевенькую чернильницу, несколько книг, пачку старых газет. Бок левый болел от пружины, сердце охватывал страх. Я почувствовал, что я умру сейчас за столом, жалкий страх смерти унизил меня до того, что я простонал, оглянулся тревожно, ища помощи и

защиты от смерти. И эту помощь я нашел. Тихо мяукнула кошка, которую я некогда подобрал в воротах. Зверь встревожился. Через секунду зверь уже сидел на газетах, смотрел на меня круглыми глазами, спрашивал - что случилось?

Дымчатый тощий зверь был заинтересован в том, чтобы ничего не случилось. В самом деле, кто же будет кормить эту старую кошку?

- Это приступ неврастения, - объяснил я кошке. - Она уже завелась во мне, будет развиваться и сглохнет меня. Но пока еще можно жить.

Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно в пяти этажах не светилось, я понял, что это не дом, а многоярусный корабль, который летит под неподвижным черным небом. Меня развеселила мысль о движении. Я успокоился, успокоилась и кошка, закрыла глаза.

Так я начал писать роман. Я описал сонную вьюгу. Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля. Это не вышло у меня. Но я стал упорен.

Днем я старался об одном - как можно меньше истратить сил на свою подневольную работу. Я делал ее механически, так, чтобы она не задевала головы. При всяком удобном случае я старался уйти со службы под предлогом болезни. Мне, конечно, не верили, и жизнь моя стала неприятной. Но я все терпел и постепенно втянулся. Подобно тому как нетерпеливый юноша ждет часа свидания, я ждал часа ночи. Проклятая квартира успокаивалась в это время. Я садился к столу... Заинтересованная кошка садилась на газеты, но роман ее интересовал чрезвычайно, и она норовила пересесть с газетного листа на лист исписанный. И я брал ее за шиворот и водворял на место.

Однажды ночью я поднял голову и удивился. Корабль мой никуда не летел, дом стоял на месте, и было совершенно светло. Лампочка ничего не освещала, была противной и назойливой. Я потушил ее, и омерзительная комната предстала предо мною в рассвете. На асфальтированном дворе воровской беззвучной походкой проходили разноцветные коты. Каждую букву на листе можно было разглядеть без всякой лампы.

- Боже! Это апрель! - воскликнул я, почему-то испугавшись, и крупно написал: "Конец".

Конец зиме, конец вьюгам, конец холоду. За зиму я растерял свои немногие знакомства, обносился очень, заболел ревматизмом и немного одичал. Но брился ежедневно.

Думая обо всем этом, я выпустил кошку во двор, затем вернулся и заснул - впервые, кажется, за всю зиму - сном без сновидений.

Роман надо долго править. Нужно перечеркивать многие места, заменять сотни слов другими. Большая, но необходимая работа!

Однако мною овладел соблазн, и, выправив первых шесть страниц, я вернулся к людям. Я созвал гостей. Среди них было двое журналистов из "Пароходства", рабочие, как и я, люди, их жены и двое литераторов. Один - молодой, поражавший меня тем, что с недостижимой ловкостью писал рассказы, и другой - пожилой, выдавший виды человек, оказавшийся при более близком знакомстве ужасною сволочью.

В один вечер я прочитал примерно четверть моего романа.

Жены до того осовели от чтения, что я стал испытывать угрызения совести. Но журналисты и литераторы оказались людьми прочными. Суждения их были братски искренни, довольно суровы и, как теперь понимаю, справедливы.

- Язык! - вскрикивал литератор (тот, который оказался сволочью), - язык, главное! Язык никуда не годится.

Он выпил большую рюмку водки, проглотил сардинку. Я налил ему вторую. Он ее выпил, закусил куском колбасы.

- Метафора! - кричал закусивший.

- Да, - вежливо подтвердил молодой литератор, - бедноват язык.

Журналисты ничего не сказали, но сочувственно кивнули, выпили. Дамы не кивали, не говорили, начисто отказались от купленного специально для них портвейна и выпили водки.

- Да как же ему не быть бедноватым, - вскрикивал пожилой, - метафора не собака, прошу это заметить! Без нее голо! Голо! Голо! Запомните это, старик!

Слово "старик" явно относилось ко мне. Я похолодел.

Расходясь, условились опять прийти ко мне. И через неделю опять были. Я прочитал вторую порцию. Вечер ознаменовался тем, что пожилой литератор выпил со мною совершенно неожиданно и против моей воли брудершафт и стал называть меня "Леонтьич".

- Язык ни к черту! Но занятно. Занятно, чтоб тебя черти разорвали (это меня)! - кричал пожилой, поедая студень, приготовленный Дусей.

На третьем вечере появился новый человек. Тоже литератор - с лицом злым и мефистофельским, косой на левый глаз, небритый. Сказал, что роман плохой, но изъявил желание слушать четвертую, и последнюю, часть. Была еще какая-то разведенная жена и один с гитарой в футляре. Я почерпнул много полезного для себя на данном вечере. Скромные мои товарищи из "Пароходства" попривыкли к разросшемуся обществу и высказали и свои мнения.

Один сказал, что семнадцатая глава растянута, другой - что характер Васеньки очерчен недостаточно выпукло. И то и другое было справедливо.

Четвертое, и последнее, чтение состоялось не у меня, а у молодого литератора, искусно сочинявшего рассказы. Здесь было уже человек двадцать, и познакомился я с бабушкой литератора, очень приятной старухой, которую портило только одно - выражение испуга, почему-то не покидавшее ее весь вечер. Кроме того, видел няньку, спавшую на сундуке.

Роман был закончен. И тут разразилась катастрофа. Все слушатели, как один, сказали, что роман мой напечатан быть не может по той причине, что его не пропустит цензура.

Я впервые услышал это слово и тут только сообразил, что, сочиняя роман, ни разу не подумал о том, будет ли он пропущен или нет.

Начала одна дама (потом я узнал, что она тоже была разведенной женой). Сказала она так:

- Скажите, Максудов, а ваш роман пропустят?

- Ни-ни-ни! - воскликнул пожилой литератор. - Ни в коем случае! Об "пропустить" не может быть и речи! Просто нет никакой надежды на это. Можешь, старик, не волноваться - не пропустят.

- Не пропустят! - хором отозвался короткий конец стола.

- Язык... - начал тот, который был братом гитариста, но пожилой его перебил:

- К чертям язык! - вскричал он, накладывая себе на тарелку салат. - Не в языке дело.

Старик написал плохой, но занятный роман. В тебе, шельмец, есть наблюдательность. И откуда что берется! Вот уж никак не ожидал, но!.. содержание!

- М-да, содержание...

- Именно содержание, - кричал, беспокоя няньку, пожилой, - ты знаешь, чего требуется? Не знаешь? Ага! То-то!

Он мигал глазом, в то же время выпивал. Затем обнял меня и расцеловал, крича:

- В тебе есть что-то несимпатичное, поверь мне! Уж ты мне поверь. Но я тебя люблю. Люблю, хоть тут меня убейте! Лукав он, шельма! С подковыркой человек!.. А? Что? Вы обратили внимание на главу четвертую? Что он говорил героине? То-то!..

- Во-первых, что это за такие слова, - начал было я, испытывая мучения от его фамильярности.

- Ты меня прежде поцелуй, - кричал пожилой литератор, - не хочешь? Вот и видно сразу, какой ты товарищ! Нет, брат, не простой ты человек!

- Конечно, не простой! - поддержала его вторая разведенная жена.

- Во-первых... - начал опять я в злобе, но ровно ничего из этого не вышло.

- Ничего не во-первых! - кричал пожилой, - а сидит в тебе Достоевщина! Да-с! Ну, ладно, ты меня не любишь, бог тебя за это простит, я на тебя не обижаюсь. Но мы тебя любим все искренне и желаем добра! - Тут он указал на брата гитариста и другого неизвестного мне человека с багровым лицом, который, явившись, извинился за опоздание, объяснив, что был в Центральных банях. - И говорю я тебе прямо, - продолжал пожилой, - ибо я привык всем резать правду в глаза, ты, Леонтьич, с этим романом даже не суйся никуда. Наживешь

ты себе неприятности, и придется нам, твоим друзьям, страдать при мысли о твоих мучениях. Ты мне верь! Я человек большого, горького опыта. Знаю жизнь! Ну вот, - крикнул он обиженно и жестом всех призвал в свидетели, - поглядите: смотрит на меня волчьими глазами. Это в благодарность за хорошее отношение! Леонтьич! - взвизгнул он так, что нянька за занавеской встала с сундука. - Пойми! Пойми ты, что не так велики уж художественные достоинства твоего романа (тут послышался с дивана мягкий гитарный аккорд), чтобы из-за него тебе идти на Голгофу. Пойми!

- Ты п-пойми, пойми, пойми! - запел приятным тенором гитарист.

- И вот тебе мой сказ, - кричал пожилой, - ежели ты меня сейчас не расцелуешь, встану, уйду, покину дружескую компанию, ибо ты меня обидел!

Испытывая невыразимую муку, я расцеловал его. Хор в это время хорошо распелся, и маслено и нежно над голосами выплывал тенор:

- Т-ты пойми, пойми...

Как кот, я выкрадывался из квартиры, держа под мышкой тяжелую рукопись.

Нянька с красными слезящимися глазами, наклонившись, пила воду из-под крана в кухне.

Неизвестно почему, я протянул няньке рубль.

- Да ну вас, - злобно сказала нянька, отпихивая рубль, - четвертый час ночи! Ведь это же адские мучения.

Тут издали прорезал хор знакомый голос:

- Где же он? Бежал? Задержать его! Вы видите, товарищи...

Но обитая клеенкой дверь уже выпустила меня, и я бежал без оглядки. Глава 3. МОЕ САМОУБИЙСТВО

- Да, это ужасно, - говорил я сам себе в своей комнате, - все ужасно. И этот салат, и нянька, и пожилой литератор, и незабвенное "пойми", вообще вся моя жизнь.

За окнами ныл осенний ветер, оторвавшийся железный лист гроыхал, по стеклам полз полосами дождь. После вечера с нянькой и гитарой много случилось событий, но таких противных, что и писать о них не хочется. Прежде всего я бросился проверять роман с той точки зрения, что, мол, пропустят его или не пропустят. И ясно стало, что его не пропустят. Пожилой был совершенно прав. Об этом, как мне казалось, кричала каждая строчка романа.

Проверив роман, я последние деньги истратил на переписку двух отрывков и отнес их в редакцию одного толстого журнала. Через две недели я получил отрывки обратно. В углу рукописей было написано: "Не подходит". Отрезав ножницами для ногтей эту резолюцию, я отнес эти же отрывки в другой толстый журнал и получил через две недели их обратно с такую же надпись: "Не подходит".

После этого у меня умерла кошка. Она перестала есть, забилась в угол и мяукала, доводя меня до иступления. Три дня это продолжалось. На четвертый я застал ее неподвижной в углу на боку.

Я взял у дворника лопату и зарыл ее на пустыре за нашим домом. Я остался в совершенном одиночестве на земле, но, признаюсь, в глубине души обрадовался. Какой обузой для меня являлся несчастный зверь.

А потом пошли осенние дожди, у меня опять заболело плечо и левая нога в колене.

Но самое худшее было не это, а то, что роман был плох. Если же он был плох, то это означало, что жизни моей приходит конец.

Всю жизнь служить в "Пароходстве"? Да вы смеетесь!

Всякую ночь я лежал, тараща глаза в тьму кромешную, и повторял - "это ужасно". Если бы меня спросили - что вы помните о времени работы в "Пароходстве"? - я с чистою совестью ответил бы - ничего.

Калоши грязные у вешалки, чья-то мокрая шапка с длиннейшими ушами на вешалке - и это все.

- Это ужасно! - повторил я, слушая, как гудит ночное молчание в ушах.

Бессонница дала себя знать недели черед две.

Я поехал в трамвае на Самотечную-Садовую, где проживал в одном из домов, номер которого я сохраняю, конечно, в строжайшей тайне, некий человек, имевший право по роду своих занятий на ношение оружия.

При каких условиях мы познакомились, неважно.

Войдя в квартиру, я застал моего приятеля лежащим на диване.

Пока он разогревал чай на примусе в кухне, я открыл левый ящик письменного его стола и выкрал оттуда браунинг, потом напился чаю и уехал к себе.

Было около девяти часов вечера. Я приехал домой. Все было как всегда. Из кухни пахло жареной бараниной, в коридоре стоял вечный, хорошо известный мне туман, в нем тускло горела под потолком лампочка. Я вошел к себе. Свет брызнул сверху, и тотчас же комната погрузилась в тьму. Перегорела лампочка.

- Все одно к одному, и все совершенно правильно, - сказал я сурово.

Я зажег керосинку на полу в углу. На листе бумаги написал: "Сим сообщаю, что браунинг Но (забыл номер), скажем, такой-то, я украл у Парфена Ивановича (написал фамилию, Но дома, улицу, все как полагается)". Подписался, лег на полу у керосинки. Смертельный ужас охватил меня. Умирать страшно. Тогда я представил себе наш коридор, баранину и бабку Пелагею, пожилого и "Пароходство", повеселил себя мыслью о том, как с грохотом будут ломать дверь в мою комнату и т.д.

Я приложил дуло к виску, неверным пальцем нашарил собачку. В это же время снизу послышались очень знакомые мне звуки, сипло заиграл оркестр, и тенор в граммофоне запел:

Но мне бог возвратит ли все?!

"Батюшки! "Фауст"! - подумал я. - Ну, уж это, действительно, вовремя. Однако подожду выхода Мефистофеля. В последний раз. Больше никогда не услышу".

Оркестр то пропадал под полом, то появлялся, но тенор кричал все громче:

Проклинаю я жизнь, веру и все науки!

"Сейчас, сейчас, - думал я, - но как быстро он поет..."

Тенор крикнул отчаянно, затем грохнул оркестр.

Дрожащий палец лег на собачку, и в это мгновение грохот оглушил меня, сердце куда-то провалилось, мне показалось, что пламя вылетело из керосинки в потолок, я уронил револьвер.

Тут грохот повторился. Снизу донесся тяжелый басовый голос:

- Вот и я!

Я повернулся к двери.

Глава 4. ПРИ ШПАГЕ Я

В дверь стучали. Властно и повторно. Я сунул револьвер в карман брюк и слабо крикнул:

- Войдите!

Дверь распахнулась, и я окоченел на полу от ужаса. Это был он, вне всяких сомнений. В сумраке в высоте надо мною оказалось лицо с властным носом и разметанными бровями. Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит острие черной бороды. Берет был заломлен лихо на ухо. Пера, правда, не было.

Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель. Тут я разглядел, что он в пальто и блестящих глубоких калошах, а под мышкою держит портфель. "Это естественно, - помыслил я, - не может он в ином виде пройти по Москве в двадцатом веке".

- Рудольфи, - сказал злой дух тенором, а не басом.

Он, впрочем, мог и не представляться мне. Я его узнал. У меня в комнате находился один из самых приметных людей в литературном мире того времени, редактор-издатель единственного частного журнала "Родина" Илья Иванович Рудольфи.

Я поднялся с полу.

- А нельзя ли зажечь лампу? - спросил Рудольфи.

- К сожалению, не могу этого сделать, - отозвался я, - так как лампочка перегорела, а другой у меня нет.

Злой дух, принявший личину редактора, проделал один из своих нехитрых фокусов - вынул из портфеля тут же электрическую лампочку.

- Вы всегда носите лампочки с собой? - изумился я.

- Нет, - сурово объяснил дух, - простое совпадение - я только что был в магазине.

Когда комната осветилась и Рудольфи снял пальто, я проворно убрал со стола записку с признанием в краже револьвера, а дух сделал вид, что не заметил этого.

Сели. Помолчали.

- Вы написали роман? - строго осведомился наконец Рудольфи.

- Откуда вы знаете?

- Ликоспастов сказал.

- Видите ли, - заговорил я (Ликоспастов и есть тот самый пожилой), - действительно, я... но... словом, это плохой роман.

- Так, - сказал дух и внимательно поглядел на меня. Тут оказалось, что никакой бороды у него не было. Тени пошутили.

- Покажите, - властно сказал Рудольфи.

- Ни за что, - отозвался я.

- По-ка-жи-те, - раздельно сказал Рудольфи.

- Его цензура не пропустит...

- Покажите.

- Он, видите ли, написан от руки, а у меня скверный почерк, буква "о" выходит как простая палочка, а...

И тут я сам не заметил, как руки мои открыли ящик, где лежал злополучный роман.

- Я любой почерк разбираю, как печатное, - пояснил Рудольфи, - это профессиональное... -

И тетради оказались у него в руках.

Прошел час. Я сидел у керосинки, подогревая воду, а Рудольфи читал роман. Множество мыслей вертелось у меня в голове. Во-первых, я думал о Рудольфи. Надо сказать, что Рудольфи был замечательным редактором и попасть к нему в журнал считалось приятным и почетным. Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня хотя бы даже и в виде Мефистофеля. Но, с другой стороны, роман ему мог не понравиться, а это было бы неприятно... Кроме того, я чувствовал, что самоубийство, прерванное на самом интересном месте, теперь уж не состоится, и следовательно, с завтрашнего же дня я опять окажусь в пучине бедствий. Кроме того, нужно было предложить чаю, а у меня не было масла. Вообще в голове была каша, в которую к тому же впутывался и зря украденный револьвер.

Рудольфи между тем глотал страницу за страницей, и я тщетно пытался узнать, какое впечатление роман производит на него. Лицо Рудольфи ровно ничего не выражало.

Когда он сделал антракт, чтобы протереть стекла очков, я к сказанным уже глупостям прибавил еще одну:

- А что говорил Ликоспастов о моем романе?

- Он говорил, что этот роман никуда не годится, - холодно ответил Рудольфи и перевернул страницу. ("Вот какая сволочь Ликоспастов! Вместо того, чтобы поддержать друга и т.д.")

В час ночи мы выпили чаю, а в два Рудольфи дочитал последнюю страницу.

Я заерзал на диване.

- Так, - сказал Рудольфи.

Помолчали.

- Толстому подражаете, - сказал Рудольфи.

Я рассердился.

- Кому именно из Толстых? - спросил я. - Их было много... Алексею ли Константиновичу, известному писателю, Петру ли Андреевичу, пойманному за границей царевича Алексея, нумизмату ли Ивану Ивановичу или Льву Николаичу?

- Вы где учились?

Тут приходится открыть маленькую тайну. Дело в том, что я окончил в университете два факультета и скрывал это.

- Я окончил церковноприходскую школу, - сказал я, кашлянув.

- Вон как! - сказал Рудольфи, и улыбка тронула слегка его губы.

Потом он спросил:

- Сколько раз в неделю вы бреетесь?

- Семь раз.

- Извините за нескромность, - продолжал Рудольфи, - а как вы делаете, что у вас такой пробор?

- Бриолином смазываю голову. А позвольте спросить, почему все это...

- Бога ради, - ответил Рудольфи, - я просто так, - и добавил: - Интересно. Человек окончил приходскую школу, бреется каждый день и лежит на полу возле керосинки. Вы - трудный человек! - Затем он резко изменил голос и заговорил сурово: - Ваш роман Главлит не пропустит, и никто его не напечатает. Его не примут ни в "Зорях", ни в "Рассвете".

- Я это знаю, - сказал я твердо.

- И тем не менее я этот роман у вас беру, - сказал строго Рудольфи (сердце мое сделало перебой), - и заплачу вам (тут он назвал чудовищно маленькую сумму, забыл какую) за лист. Завтра он будет перепечатан на машинке.

- В нем четыреста страниц! - воскликнул я хрипло.

- Я разниму его на части, - железным голосом говорил Рудольфи, - и двенадцать машинисток в бюро перепечатают его завтра к вечеру.

Тут я перестал бунтовать и решил подчиниться Рудольфи.

- Переписка на ваш счет, - продолжал Рудольфи, а я только кивал головой, как фигурка, - затем: надо будет вычеркнуть три слова - на странице первой, семьдесят первой и триста второй.

Я заглянул в тетради и увидел, что первое слово было "Апокалипсис", второе - "архангелы" и третье - "дьявол". Я их покорно вычеркнул; правда, мне хотелось сказать, что это наивные вычеркивания, но я поглядел на Рудольфи и замолчал.

- Затем, - продолжал Рудольфи, - вы поедете со мною в Главлит. Причем я вас покорнейше прошу не произносить там ни одного слова.

Все-таки я обиделся.

- Если вы находите, что я могу сказать что-нибудь... - начал я мямлить с достоинством, - то я могу и дома посидеть...

Рудольфи никакого внимания не обратил на эту попытку возмущения и продолжал:

- Нет, вы не можете дома посидеть, а поедете со мною.

- Чего же я там буду делать?

- Вы будете сидеть на стуле, - командовал Рудольфи, - и на все, что вам будут говорить, будете отвечать вежливой улыбкой...

- Но...

- А разговаривать буду я! - закончил Рудольфи.

Затем он попросил чистый лист бумаги, карандашом написал на нем что-то, что содержало в себе, как помню, несколько пунктов, сам это подписал, заставил подписать и меня, затем вынул из кармана две хрустящих денежных бумажки, тетради мои положил в портфель, и его не стало в комнате.

Я не спал всю ночь, ходил по комнате, смотрел бумажки на свет, пил холодный чай и представлял себе прилавки книжных магазинов. Множество народу входило в магазин, спрашивало книжку журнала. В домах сидели под лампами люди, читали книжку, некоторые вслух.

Боже мой! Как это глупо, как это глупо! Но я был тогда сравнительно молод, не следует смеяться надо мною. Глава 5. НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СОБЫТИЯ

Украсть не трудно. На место положить - вот в чем штука. Имея в кармане браунинг в кобуре, я приехал к моему другу.

Сердце мое екнуло, когда еще сквозь дверь я услышал его крики:

- Мамаша! А еще кто?..

Глухо слышался голос старушки, его матери:

- Водопроводчик...

- Что случилось? - спросил я, снимая пальто.

Друг оглянулся и шепнул:

- Револьвер сперли сегодня... Вот гады...

- Ай-яй-яй, - сказал я.

Старушка-мамаша носилась по всей маленькой квартире, ползала по полу в коридоре, заглядывала в какие-то корзины.

- Мамаша! Это глупо! Перестаньте по полу елозить!

- Сегодня? - спросил я радостно. (Он ошибся, револьвер пропал вчера, но ему почему-то казалось, что он его вчера ночью еще видел в столе.)

- А кто у вас был?

- Водопроводчик, - кричал мой друг.

- Парфеша! Не входил он в кабинет, - робко говорила мамаша, - прямо к крану прошел...

- Ах, мамаша! Ах, мамаша!

- Больше никого не было? А вчера кто был?

- И вчера никого не было! Только вы заходили, и больше никого.

И друг мой вдруг выпучил на меня глаза.

- Позвольте, - сказал я с достоинством.

- Ах! И до чего же вы обидчивые, эти интеллигенты! - вскричал друг. - Не думаю же я, что это вы сперли.

И тут же понесся смотреть, к какому крану проходил водопроводчик. При этом мамаша изображала водопроводчика и даже подражала его интонациям.

- Вот так вошел, - говорила старушка, - сказал "здравствуйте"... шапку повесил - и пошел...

- Куда пошел?..

Старушка пошла, подражая водопроводчику, в кухню, друг мой устремился за нею, я сделал одно ложное движение, якобы за ними, тотчас свернул в кабинет, положил браунинг не в левый, а в правый ящик стола и отправился в кухню.

- Где вы его держите? - спрашивал я участливо в кабинете.

Друг открыл левый ящик и показал пустое место.

- Не понимаю, - сказал я, пожимая плечами, - действительно, загадочная история, - да, ясно, что украли.

Мой друг окончательно расстроился.

- А все-таки я думаю, что его не украли, - сказал я через некоторое время, - ведь если никого не было, кто же может его украсть?

Друг сорвался с места и осмотрел карманы в старой шинели в передней. Там ничего не нашлось.

- По-видимому, украли, - сказал я задумчиво, - придется в милицию заявлять.

Друг что-то простонал.

- Куда-нибудь в другое место вы не могли его засунуть?

- Я его всегда кладу в одно и то же место! - нервничая, воскликнул мой приятель и в доказательство открыл средний ящик стола. Потом что-то шептал губами, открыл левый и даже руку в него засунул, потом под ним нижний, а затем уже с проклятием открыл правый.

- Вот штука! - хрипел он, глядя на меня. - Вот штука... Мамаша! Нашелся!

Он был необыкновенно счастлив в этот день и оставил меня обедать.

Ликвидировав висевший на моей совести вопрос с револьвером, я сделал шаг, который можно назвать рискованным, - бросил службу в "Вестнике пароходства".

Я переходил в другой мир, бывал у Рудольфи и стал встречать писателей, из которых некоторые имели уже крупную известность. Но все это теперь как-то смылось в моей

памяти, не оставив ничего, кроме скуки, в ней, все это я позабыл. И лишь не могу забыть одной вещи: это знакомства моего с издателем Рудольфи - Макаром Рвацким.

Дело в том, что у Рудольфи было все: и ум, и сметка, и даже некоторая эрудиция, у него только одного не было - денег. А между тем азартная любовь Рудольфи к своему делу толкала его на то, чтобы во что бы то ни стало издавать толстый журнал. Без этого он умер бы, я полагаю.

В силу этой причины я однажды оказался в странном помещении на одном из бульваров Москвы. Здесь помещался издатель Рвацкий, как пояснил мне Рудольфи. Поразило меня то, что вывеска на входе в помещение возвещала, что здесь -

#### БЮРО ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Еще страннее было то, что никаких фотографических принадлежностей, за исключением нескольких отрезков ситцу и сукна, в газетную бумагу завернутых, не было в помещении.

Все оно кишело людьми. Все они были в пальто, в шляпах, оживленно разговаривали между собою. Я услышал мельком два слова - "провода" и "банки", страшно удивился, но и меня встретили удивленными взорами. Я сказал, что я к Рвацкому по делу. Меня немедленно и очень почтительно проводили за фанерную перегородку, где удивление мое возросло до наивысшей степени.

На письменном столе, за которым помещался Рвацкий, стояли нагроможденные одна на другую коробки с кильками.

Но сам Рвацкий не понравился мне еще более, нежели кильки в его издательстве. Рвацкий был человеком сухим, худым, маленького роста, одетым для моего глаза, привыкшего к блузам в "Пароходстве", крайне странно. На нем была визитка, полосатые брюки, он был при грязном крахмальном воротничке, а воротничок при зеленом галстуке, а в галстуке этом была рубиновая булавка.

Рвацкий меня изумил, а я Рвацкого испугал или, вернее, расстроил, когда я объяснил, что пришел подписать договор с ним на печатание моего романа в издаваемом им журнале. Но тем не менее он быстро пришел в себя, взял принесенные мною два экземпляра договора, вынул самопишущее перо, подписал, не читая почти, оба и подпихнул мне оба экземпляра вместе с самопишущим пером. Я уже вооружился последним, как вдруг глянул на коробки с надписью "Килька отборная астраханская" и сетью, возле которой был рыболов с засученными штанами, и какая-то щемящая мысль вторглась в меня.

- Деньги мне уплатят сейчас же, как написано в договоре? - спросил я.

Рвацкий превратился весь в улыбку сладости, вежливости.

Он кашлянул и сказал:

- Через две недели ровно, сейчас маленькая заминка...

Я положил перо.

- Или через неделю, - поспешно сказал Рвацкий, - почему же вы не подписываете?

- Так мы уже тогда заодно и подпишем договор, - сказал я, - когда заминка уляжется.

Рвацкий горько улыбнулся, качая головой.

- Вы мне не доверяете? - спросил он.

- Помилуйте!

- Наконец, в среду! - сказал Рвацкий. - Если вы имеете нужду в деньгах.

- К сожалению, не могу.

- Важно подписать договор, - рассудительно сказал Рвацкий, - а деньги даже во вторник можно.

- К сожалению, не могу. - И тут я отодвинул договоры и застегнул пуговицу.

- Одну минуточку, ах, какой вы! - воскликнул Рвацкий. - А говорят еще, что писатели непрактичный народ.

И тут вдруг тоска изобразилась на его бледном лице, он встревоженно оглянулся, но вбежал какой-то молодой человек и подал Рвацкому картонный билетик, завернутый в белую бумажку. "Это билет с плацкартой, - подумал я, - он куда-то едет..."

Краска проступила на щеках издателя, глаза его сверкнули, чего я никак не предполагал, что это может быть.

Говоря коротко, Рвацкий выдал мне ту сумму, которая была указана в договоре, а на остальные суммы написал мне векселя. Я в первый и в последний раз в жизни держал в руках векселя, выданные мне. (За вексельною бумагою куда-то бегали, причем я дожидался, сидя на каких-то ящиках, распространявших сильнейший запах сапожной кожи.) Мне очень польстило, что у меня векселя.

Дальше размыло в памяти месяца два. Помню только, что я у Рудольфи возмущался тем, что он послал меня к такому, как Рвацкий, что не может быть издатель с мутными глазами и рубиновой булавкой. Помню также, как екнуло мое сердце, когда Рудольфи сказал: "А покажите-ка векселя", - и как оно стало на место, когда он сказал сквозь зубы: "Все в порядке". Кроме того, никогда не забуду, как я приехал получать по первому из этих векселей. Началось с того, что вывеска "Бюро фотографических принадлежностей" оказалась несуществующей и была заменена вывескою "Бюро медицинских банок".

Я вошел и сказал:

- Мне нужно видеть Макара Борисовича Рвацкого.

Отлично помню, как подогнулись мои ноги, когда мне ответили, что М.Б. Рвацкий... за границей.

Ах, сердце, мое сердце!.. Но, впрочем, теперь это неважно.

Кратко опять-таки: за фанерной перегородкою был брат Рвацкого. (Рвацкий уехал за границу через десять минут после подписания договора со мною - помните плацкарту?) Полная противоположность по внешности своему брату, Алоизий Рвацкий, атлетически сложенный человек с тяжелыми глазами, по векселю уплатил.

По второму через месяц я, проклиная жизнь, получил уже в каком-то официальном учреждении, куда векселя идут в протест (нотариальная контора, что ли, или банк, где были окошечки с сетками).

К третьему векселю я поумнел, пришел к второму Рвацкому за две недели до срока и сказал, что устал.

Мрачный брат Рвацкого впервые обратил на меня свои глаза и буркнул:

- Понимаю. А зачем вам ждать сроков? Можете и сейчас получить.

Вместо восьмисот рублей я получил четыреста и с великим облегчением отдал Рвацкому две продолговатые бумажки.

Ах, Рудольфи, Рудольфи! Спасибо вам и за Макара и за Алоизия. Впрочем, не будем забегать вперед, дальше будет еще хуже.

Впрочем, пальто я себе купил.

И наконец настал день, когда в мороз лютый я пришел в это же самое помещение. Это был вечер. Стосвечовая лампочка резала глаза нестерпимо. Под лампочкой за фанерной перегородкой не было никого из Рвацких (нужно ли говорить, что и второй уехал). Под этой лампочкой сидел в пальто Рудольфи, а перед ним на столе, и на полу, и под столом лежали серо-голубые книжки только что отпечатанного номера журнала. О, миг! Теперь-то мне это смешно, но тогда я был моложе.

У Рудольфи сияли глаза. Дело свое, надо сказать, он любил. Он был настоящий редактор. Существуют такие молодые люди, и вы их, конечно, встречали в Москве. Эти молодые люди бывают в редакциях журналов в момент выхода номера, но они не писатели. Они видны бывают на всех генеральных репетициях, во всех театрах, хотя они и не актеры, они бывают на выставках художников, но сами не пишут. Оперных примадонн они называют не по фамилиям, а по имени и отчеству, по имени же и отчеству называют лиц, занимающих ответственные должности, хотя с ними лично и не знакомы. В Большом театре на премьере они, протискиваясь между седьмым и восьмым рядами, машут приветливо ручкой кому-то в бельэтаже, в "Метрополе" они сидят за столиком у самого фонтана, и разноцветные лампочки освещают их штаны с раструбами.

Один из них сидел перед Рудольфи.

- Ну-с, как же вам понравилась очередная книжка? - спрашивал Рудольфи у молодого человека.

- Илья Иваныч! - прочувственно воскликнул молодой человек, вертя в руках книжку, - очаровательная книжка, но, Илья Иваныч, позвольте вам сказать со всею откровенностью, мы, ваши читатели, не понимаем, как вы с вашим вкусом могли поместить эту вещь Максудова.

"Вот так номер!" - подумал я, холодея. Но Рудольфи заговорщически подмигнул мне и спросил:

- А что такое?

- Помилуйте! - восклицал молодой человек. - Ведь во-первых... вы позволите мне быть откровенным, Илья Иванович?

- Пожалуйста, пожалуйста, - сказал, сияя, Рудольфи.

- Во-первых, это элементарно неграмотно... Я берусь вам подчеркнуть двадцать мест, где просто грубые синтаксические ошибки.

"Надо будет перечитать сейчас же", - подумал я, замирая.

- Ну, а стиль! - кричал молодой человек. - Боже мой, какой ужасный стиль! Кроме того, все это эклектично, подражательно, беззубо как-то. Дешевая философия, скольжение по поверхности... Плохо, плоско, Илья Иванович! Кроме того, он подражает...

- Кому? - спросил Рудольфи.

- Аверченко! - вскричал молодой человек, вертя и поворачивая книжку и пальцем раздирая слипшиеся страницы, - самому обыкновенному Аверченко! Да вот я вам покажу. - Тут молодой человек начал рыться в книжке, причем я, как гусь, вытянув шею, следил за его руками. Но он, к сожалению, не нашел того, что искал.

"Найду дома", - думал я.

- Найду дома, - посулил молодой человек, - книжка испорчена, ей-богу, Илья Иванович. Он же просто неграмотен! Кто он такой? Где он учился?

- Он говорит, что кончил церковноприходскую школу, - сверкая глазами, ответил Рудольфи, - а впрочем, спросите у него сами. Прошу вас, познакомьтесь.

Зеленая гниловатая плесень выступила на щеках молодого человека, а глаза его наполнились непередаваемым ужасом.

Я раскланялся с молодым человеком, он оскалил зубы, страдание исказило его приятные черты. Он охнул и выхватил из кармана носовой платок, и тут я увидел, что по щеке у него побежала кровь. Я остолбенел.

- Что с вами? - вскричал Рудольфи.

- Гвоздь, - ответил молодой человек.

- Ну, я пошел, - сказал я суконным языком, стараясь не глядеть на молодого человека.

- Возьмите книги.

Я взял пачку авторских экземпляров, пожал руку Рудольфи, откланялся молодому человеку, причем тот, не переставая прижимать платок к щеке, уронил на пол книжку и палку, задом тронулся к выходу, ударился локтем об стол и вышел.

Снег шел крупный, елочный снег.

Не стоит описывать, как я просидел всю ночь над книгой, перечитывая роман в разных местах. Достоинно внимания, что временами роман нравился, а затем тотчас же казался отвратительным. К утру я был от него в ужасе.

События следующего дня мне памятны. Утром у меня был удачно обокраденный друг, которому я подарил один экземпляр романа, а вечером я отправился на вечеринку, организованную группой писателей по поводу важнейшего события - благополучного прибытия из-за границы знаменитого литератора Измаила Александровича Бондаревского. Торжество умножалось и тем, что одновременно чествовать предполагалось и другого знаменитого литератора - Егора Агапеню, вернувшегося из своей поездки в Китай.

И одевался, и шел я на вечер в великом возбуждении. Как-никак это был тот новый для меня мир, в который я стремился. Этот мир должен был открыться передо мною, и притом

с самой наилучшей стороны - на вечеринке должны были быть первейшие представители литературы, весь ее цвет.

И точно, когда я вошел в квартиру, я испытал радостный подъем.

Первым, кто бросился мне в глаза, был тот самый вчерашний молодой человек, пропоровший себе ухо гвоздем. Я узнал его, несмотря на то, что он был весь забинтован свежими марлевыми бинтами.

Мне он обрадовался, как родному, и долго жал руки, присовокупляя, что всю ночь читал он мой роман, причем он ему начал нравиться.

- Я тоже, - сказал я ему, - читал всю ночь, но он мне перестал нравиться.

Мы тепло разговорились, при этом молодой человек сообщил мне, что будет заливная осетрина, вообще был весел и возбужден.

Я оглянулся - новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была громадная, стол был накрыт на двадцать пять примерно кувертов; хрусталь играл огнями; даже в черной икре сверкали искры; зеленые свежие огурцы порождали глуповато-веселые мысли о каких-то пикниках, почему-то о славе и прочем. Тут же меня познакомили с известнейшим автором Лесосековым и с Тунским - новеллистом. Дам было мало, но все же были.

Ликоспастов был тише воды, ниже травы, и тут же как-то я ощутил, что, пожалуй, он будет рангом пониже прочих, что с начинающим даже русокудрым Лесосековым его уже сравнивать нельзя, не говоря уже, конечно, об Агапенове или Измаиле Александровиче.

Ликоспастов пробрался ко мне, мы поздоровались.

- Ну, что ж, - вздохнув почему-то, сказал Ликоспастов, - поздравляю. Поздравляю от души.

И прямо тебе скажу - ловок ты, брат. Руку бы дал на отсечение, что роман твой напечатать нельзя, просто невозможно. Как ты Рудольфи обработал, ума не приложу. Но предсказываю тебе, что далеко пойдешь! А поглядеть на тебя - тихоня... Но в тихом...

Тут поздравления Ликоспастова были прерваны громкими звонками с парадного, и исполнявший обязанности хозяина критик Конкин (дело происходило в его квартире) вскричал:

- Он!

И верно: это оказался Измаил Александрович. В передней послышался звучный голос, потом звуки лобызаний, и в столовую вошел маленького роста гражданин в целлулоидовом воротнике, в куртке. Человек был сконфужен, тих, вежлив и в руках держал, почему-то не оставив ее в передней, фуражку с бархатным околышем и пыльным круглым следом от гражданской кокарды.

"Позвольте, тут какая-то путаница..." - подумал я, до того не вязался вид вошедшего человека с здоровым хохотом и словом "расстегаи", которое донеслось из передней.

Путаница, оказалось, и была. Следом за вошедшим, нежно обнимая за талию, Конкин вовлек в столовую высокого и плотного красавца со светлой вьющейся и холеной бородой, в расчесанных кудрях.

Присутствовавший здесь беллетрист Фиалков, о котором мне Рудольфи шепнул, что он шибко идет в гору, был одет прекрасно (вообще все были одеты хорошо), но костюм Фиалкова и сравнивать нельзя было с одеждой Измаила Александровича. Добротнейшей материи и сшитый первоклассным парижским портным коричневый костюм облекал стройную, но несколько полноватую фигуру Измаила Александровича. Белье крахмальное, лакированные туфли, аметистовые запонки. Чист, бел, свеж, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол:

- Га! Черти!

И тут порхнул и смешок и аплодисмент и послышались поцелуи. Кой с кем Измаил Александрович здоровался за руку, кой с кем целовался накрест, перед кой-кем шутливо отворачивался, закрывая лицо белой ладонью, как будто слеп от солнца, и при этом фырчал.

Меня, вероятно принимая за кого-то другого, расцеловал трижды, причем от Измаила Александровича запахло коньяком, одеколоном и сигарой.

- Баклажанов! - вскричал Измаил Александрович, указывая на первого вошедшего. - Рекомендую. Баклажанов, друг мой.

Баклажанов улыбнулся мученической улыбкой и, от смущения в чужом, большом обществе, надел свою фуражку на шоколадную статую девицы, державшей в руках электрическую лампочку.

- Я его с собой притащил! - продолжал Измаил Александрович. - Нечего ему дома сидеть. Рекомендую - чудный малый и величайший эрудит. И, вспомните мое слово, всех нас он за пояс заткнет не позже чем через год! Зачем же ты, черт, на нее фуражку надел? Баклажанов?

Баклажанов сгорел со стыда и ткнулся было здороваться, но у него ничего не вышло, потому что вскипел водоворот усаживаний, и уж между размещающимися потекла вспухшая лакированная кулебяка.

Пир пошел как-то сразу дружно, весело, бодро.

- Расстегаи подвели! - слышал я голос Измаила Александровича. - Зачем же мы с тобою, Баклажанов, расстегаи ели?

Звон хрусталя ласкал слух, показалось, что в люстре прибавили свету. Все взоры после третьей рюмки обратились к Измаилу Александровичу. Послышались просьбы:

- Про Париж! Про Париж!

- Ну, были, например, на автомобильной выставке, - рассказывал Измаил Александрович, - открытие, все честь по чести, министр, журналисты, речи... между журналистов стоит этот жулик, Кондюков Сашка... Ну, француз, конечно, речь говорит... на скорую руку спичишко. Шампанское, натурально. Только смотрю - Кондюков надувает щеки, и не успели мы мигнуть, как его вырвало! Дамы тут, министр! А он, сукин сын!.. И что ему померещилось, до сих пор не могу понять! Скандалище колоссальный. Министр, конечно, делает вид, что ничего не замечает, но как тут не заметишь... Фрак, шапокляк, штаны тысячу франков стоят. Все вдребезги... Ну, вывели его, напоили водой, увезли...

- Еще! Еще! - кричали за столом.

В это время уже горничная в белом фартуке обносила осетриной. Звенело сильней, уже слышались голоса. Но мне мучительно хотелось знать про Париж, и я в звоне, стуке и восклицаниях ухом ловил рассказы Измаила Александровича.

- Баклажанов! Почему ты не ешь?..

- Дальше! Просим! - кричал молодой человек, аплодируя...

- Дальше что было?

- Ну а дальше сталкиваются оба эти мошенника на Шан-Зелизе, нос к носу... Табло! И не успел он оглянуться, как этот прохвост Катькин возьми и плюнь ему прямо в рыло!..

- Ай-яй-яй!

- Да-с... Баклажанов! Не спи ты, черт этакий!.. Нуте-с, и от волнения, он неврастеник жуткий, промахнись, и попал даме, совершенно неизвестной даме, прямо на шляпку...

- На Шан-Зелизе?!

- Подумаешь! Там это просто! А у ней одна шляпка три тысячи франков! Ну конечно, господин какой-то его палкой по роже... Скандалище жуткий!

Тут хлопнуло в углу, и желтое абрау засветилось передо мною в узком бокале... Помнится, пили за здоровье Измаила Александровича.

И опять я слушал про Париж.

- Он, не смущаясь, говорит ему: "Сколько?" А тот... ж-жулик! (Измаил Александрович даже зажмурился.) "Восемь, говорит, тысяч!" А тот ему в ответ: "Получите!" И вынимает руку и тут же показывает ему шиш!

- В Гранд-Опера?!

- Подумаешь! Плевал он на Гранд-Опера! Тут двое министров во втором ряду.

- Ну, а тот? Тот-то что? - хохоча, спрашивал кто-то.

- По матери, конечно!
- Батюшки!
- Ну, вывели обоих, там это просто...

Пир пошел шире. Уже плыл над столом, наслаивался дым. Уже под ногой я ощутил что-то мягкое и скользкое и, наклонившись, увидел, что это кусок лососины, и как он попал под ноги - неизвестно. Хохот заглушал слова Измаила Александровича, и поразительные дальнейшие парижские рассказы мне остались неизвестными.

Я не успел как следует задуматься над странностями заграничной жизни, как звонок возвестил прибытие Егора Агапенова. Тут уж было сумбурновато. Из соседней комнаты слышалось пианино, тихо кто-то наигрывал фокстрот, и я видел, как топтался мой молодой человек, держа, прижав к себе, даму.

Егор Агапенов вошел бодро, вошел размашисто, и следом за ним вошел китаец, маленький, сухой, желтоватый, в очках с черным ободком. За китайцем дама в желтом платье и крепкий бородатый мужчина по имени Василий Петрович.

- Измашь тут? - воскликнул Егор и устремился к Измаилу Александровичу.

Тот затрясся от радостного смеха, воскликнул:

- Га! Егор! - и погрузил свою бороду в плечо Агапенова. Китаец ласково улыбался всем, но никакого звука не произносил, как и в дальнейшем не произнес.

- Познакомьтесь с моим другом китайцем! - кричал Егор, отцеловавшись с Измаилом Александровичем.

Но дальше стало шумно, путано. Помнится, танцевали в комнате на ковре, отчего было неудобно. Кофе в чашке стояло на письменном столе. Василий Петрович пил коньяк. Видел я спящего Баклажанова в кресле. Накурено было крепко. И как-то почувствовалось, что пора, собственно, и отправиться домой.

И совершенно неожиданно у меня произошел разговор с Агапеновым. Я заметил, что, как только дело пошло к трем часам ночи, он стал проявлять признаки какого-то беспокойства. И кое с кем начинал о чем-то заговаривать, причем, сколько я понимаю, в тумане и дыму получал твердые отказы. Я, погрузившись в кресло у письменного стола, пил кофе, не понимая, почему мне щемило душу и почему Париж вдруг представился каким-то скучным, так что даже и побывать в нем вдруг перестало хотеться.

И тут надо мною склонилось широкое лицо с круглейшими очками. Это был Агапенов.

- Максудов? - спросил он.

- Да.

- Слышал, слышал, - сказал Агапенов. - Рудольфи говорил. Вы, говорят, роман напечатали?

- Да.

- Здоровый роман, говорят. Ух, Максудов! - вдруг зашептал Агапенов, подмигивая, - обратите внимание на этот персонаж... Видите?

- Это - с бородой?

- Он, он, деверь мой.

- Писатель? - спросил я, изучая Василия Петровича, который, улыбаясь тревожно-ласковой улыбкой, пил коньяк.

- Нет! Кооператор из Тетюшей... Максудов, не теряйте времени, - шептал Агапенов, - жалеть будете. Такой тип поразительный! Вам в ваших работах он необходим. Вы из него в одну ночь можете настричь десяток рассказов и каждый выгодно продадите. Ихтиозавр, бронзовый век! Истории рассказывает потрясающе! Вы представляете, чего он там в своих Тетюшах посмотрелся. Ловите его, а то другие перехватят и изгадят.

Василий Петрович, почувствовав, что речь идет о нем, улыбнулся еще тревожнее и выпил.

- Да самое лучше... Идея! - хрипел Агапенов. - Я вас сейчас познакомлю... Вы холостой? - тревожно спросил Агапенов.

- Холостой... - сказал я, выпучив глаза на Агапенова.

Радость выразилась на лице Агапенова.

- Чудесно! Вы познакомитесь, и ведите вы его к себе ночевать! Идея! У вас диван какой-нибудь есть? На диване он заснет, ничего ему не сделается. А через два дня он уедет. Вследствие ошеломления я не нашелся ничего ответить, кроме одного:

- У меня один диван...

- Широкий? - спросил тревожно Агапенов.

Но тут я уже немного пришел в себя. И очень вовремя, потому что Василий Петрович уж начал ерзать с явной готовностью познакомиться, а Агапенов начал меня тянуть за руку.

- Простите, - сказал я, - к сожалению, ни в каком случае не могу его взять. Я живу в проходной комнате в чужой квартире, а за ширмой спят дети хозяйки (я хотел добавить еще, что у них скарлатина, потом решил, что это лишнее нагромождение лжи, и все-таки добавил)... и у них скарлатина.

- Василий! - вскричал Агапенов, - у тебя была скарлатина?

Сколько раз в жизни мне приходилось слышать слово "интеллигент" по своему адресу. Не спорю, я, может быть, и заслужил это печальное название. Но тут я все же собрал силы и, не успев Василий Петрович с молящей улыбкой ответить: "Бы..." - как я твердо сказал Агапенову:

- Категорически отказываюсь взять его. Не могу.

- Как-нибудь, - тихо шепнул Агапенов, - а?

- Не могу.

Агапенов повесил голову, пожевал губами.

- Но, позвольте, он же к вам приехал? Где же он остановился?

- Да у меня и остановился, черт его возьми, - сказал тоскливо Агапенов.

- Ну, и...

- Да теща ко мне с сестрой приехала сегодня, поймите, милый человек, а тут китаец еще...

И носит их черт, - внезапно добавил Агапенов, - этих деверей. Сидел бы в Тетюшах...

И тут Агапенов ушел от меня.

Смутная тревога овладела мною почему-то, и, не прощаясь ни с кем, кроме Конкина, я покинул квартиру.

## Глава 6. КАТАСТРОФА

Да, эта глава будет, пожалуй, самой короткой. На рассвете я почувствовал, что по спине моей прошел озноб. Потом он повторился. Я скорчился и влез под одеяло с головой, стало легче, но только на минуту. Вдруг сделалось жарко. Потом опять холодно, и до того, что зубы застучали. У меня был термометр. Он показал 38,8. Стало быть, я заболел. Совсем под утро я попытался заснуть и до сих пор помню это утро. Только что закрою глаза, как ко мне наклоняется лицо в очках и бубнит: "Возьми", а я повторяю только одно: "Нет, не возьму". Василий Петрович не то снился, не то действительно поместился в моей комнате, причем ужас заключался в том, что он наливал коньяк себе, а пил его я. Париж стал совершенно невыносим. Гранд-Опера', а в ней кто-то показывает кукиш. Сложит, покажет и спрячет опять. Сложит, покажет.

- Я хочу сказать правду, - бормотал я, когда день уже разлился за драной нестираной шторой, - полную правду. Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен. Я в него не пойду. Он - чужой мир. Отвратительный мир! Надо держать это в полном секрете, т-сс!

Губы мои высохли как-то необыкновенно быстро. Я, неизвестно зачем, положил рядом с собою книжку журнала; с целью читать, надо полагать. Но ничего не прочел. Хотел поставить еще раз термометр, но не поставил. Термометр лежит рядом на стуле, а мне за ним почему-то надо идти куда-то. Потом стал совсем забываться. Лицо моего сослуживца из "Пароходства" я помню, а лицо доктора расплылось. Словом, это был грипп. Несколько дней я проплавал в жару, а потом температура упала. Я перестал видеть Шан-Зелизе, и никто не плевал на шляпку, и Париж не растягивался на сто верст.

Мне захотелось есть, и добрая соседка, жена мастера, сварила мне бульон. Я его пил из чашки с отбитой ручкой, пытался читать свое собственное сочинение, но читал строк по десяти и оставлял это занятие.

На двенадцатый примерно день я был здоров. Меня удивило то, что Рудольфи не навестил меня, хотя я и написал ему записку, чтобы он пришел ко мне.

На двенадцатый день я вышел из дому, пошел в "Бюро медицинских банок" и увидел на нем большой замок. Тогда я сел в трамвай и долго ехал, держась за раму от слабости и дыша на замерзшее стекло. Приехал туда, где жил Рудольфи. Позвонил. Не открывают. Еще раз позвонил. Открыл старичок и поглядел на меня с отвращением.

- Рудольфи дома?

Старичок посмотрел на носки своих ночных туфель и ответил:

- Нету его.

На мои вопросы - куда он девался, когда будет, и даже на нелепый вопрос, почему замок висит на "Бюро", старик как-то мялся, осведомился, кто я таков. Я объяснил все, даже про роман рассказал. Тогда старичок сказал:

- Он уехал в Америку неделю тому назад.

Можете убить меня, если я знаю, куда девался Рудольфи и почему.

Куда девался журнал, что произошло с "Бюро", какая Америка, как он уехал, не знаю и никогда не узнаю. Кто таков старичок, черт его знает!

Под влиянием слабости после гриппа в истощенном моем мозгу мелькнула даже мысль, что не видел ли я во сне все - то есть и самого Рудольфи, и напечатанный роман, и Шан-Зелизе, и Василия Петровича, и ухо, распоротое гвоздем. Но по приезде домой я нашел у себя девять голубых книжек. Был напечатан роман. Был. Вот он.

Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. Так что ни у кого не мог и справиться о Рудольфи.

Съездив еще раз в "Бюро", я убедился, что никакого бюро там уже нет, а есть кафе со столиками, покрытыми клеенкой.

Нет, вы объясните мне, куда девались несколько сот книжек? Где они?

Такого загадочного случая, как с этим романом и Рудольфи, никогда в моей жизни не было.

Глава 7.

Самым разумным в таких странных обстоятельствах представлялось просто все это забыть и перестать думать и о Рудольфи, и об исчезновении вместе с ним и номера журнала. Я так и поступил.

Однако это не избавляло меня от жестокой необходимости жить дальше. Я проверил свое прошлое.

- Итак, - говорил я самому себе, во время мартовской вьюги сидя у керосинки, - я побывал в следующих мирах.

Мир первый: университетская лаборатория, в коей я помню вытяжной шкаф и колбы на штативах. Этот мир я покинул во время гражданской войны. Не станем спорить о том, поступил ли я легкомысленно или нет. После невероятных приключений (хотя, впрочем, почему невероятных? - кто же не переживал невероятных приключений во время гражданской войны?), словом, после этого я оказался в "Пароходстве". В силу какой причины? Не будем таиться. Я лелеял мысль стать писателем. Ну и что же? Я покинул и мир "Пароходства". И, собственно говоря, открылся передо мною мир, в который я стремился, и вот такая оказия, что он мне показался сразу же нестерпимым. Как представлю себе Париж, так какая-то судорога проходит во мне и не могу влезть в дверь. А все этот чертов Василий Петрович! И сидел бы в Тетюшах! И как ни талантлив Измаил Александрович, но уж очень противно в Париже. Так, стало быть, остался я в какой-то пустоте? Именно так.

Ну что же, сиди и сочиняй второй роман, раз ты взялся за это дело, а на вечеринки можешь и не ходить. Дело не в вечеринках, а в том-то вся и соль, что я решительно не знал, об чем этот второй роман должен был быть? Что поведать человечеству? Вот в чем вся беда.

Кстати, о романе. Глянем правде в глаза. Его никто не читал. Не мог читать, ибо исчез Рудольфи, явно не успев распространить книжку. А мой друг, которому я презентовал экземпляр, и он не читал. Уверяю вас.

Да, кстати: я уверен, что, прочитав эти строки, многие назовут меня интеллигентом и неврастеником. Насчет первого не спорю, а насчет второго предупреждаю серьезным образом, что это заблуждение. У меня и тени неврастения нет. И вообще, раньше чем этим словом швыряться, надо бы узнать поточнее, что такое неврастения, да рассказы Измаила Александровича послушать. Но это в сторону. Нужно было прежде всего жить, а для этого нужно было деньги зарабатывать.

Итак, прекратив мартовскую болтовню, я пошел на заработки. Тут меня жизнь взяла за шиворот и опять привела в "Пароходство", как блудного сына. Я сказал секретарю, что роман написал. Его это не тронуло. Одним словом, я условился, что буду писать четыре очерка в месяц. Получая соответствующее законам вознаграждение за это. Таким образом, некоторая материальная база намечалась. План заключался в том, чтобы сваливать как можно скорее с плеч эти очерки и по ночам опять-таки писать.

Первая часть была мною выполнена, а со второй получилось черт знает что. Прежде всего я отправился в книжные магазины и купил произведения современников. Мне хотелось узнать, о чем они пишут, как они пишут, в чем волшебный секрет этого ремесла.

При покупке я не щадил своих средств, покупая все самое лучшее, что только оказалось на рынке. В первую голову я приобрел произведения Измаила Александровича, книжку Агапенюва, два романа Лесосекова, два сборника рассказов Флавиана Фиалкова и многое еще. Первым делом я, конечно, бросился на Измаила Александровича. Неприятное предчувствие кольнуло меня, лишь только я глянул на обложку. Книжка называлась "Парижские кусочки". Все они мне оказались знакомыми от первого кусочка до последнего. Я узнал и проклятого Кондюкова, которого стошнило на автомобильной выставке, и тех двух, которые подрались на Шан-Зелизе (один был, оказывается, Помадкин, другой Шерстяников), и скандалиста, показавшего кукиш в Гранд-Опера'. Измаил Александрович писал с необыкновенным блеском, надо отдать ему справедливость, и поселил у меня чувство какого-то ужаса в отношении Парижа.

Агапенюв, оказывается, успел выпустить книжку рассказов за время, которое прошло после вечеринки, - "Тетюшанская гомоза". Нетрудно было догадаться, что Василия Петровича не удалось устроить ночевать нигде, ночевал он у Агапенюва, тому самому пришлось использовать истории бездомного деверя. Все было понятно, за исключением совершенно непонятного слова "гомоза".

Дважды я принимался читать роман Лесосекова "Лебеди", два раза дочитывал до сорок пятой страницы и начинал читать с начала, потому что забывал, что было в начале. Это меня серьезно испугало. Что-то неладное творилось у меня в голове - я перестал или еще не умел понимать серьезные вещи. И я, отложив Лесосекова, принялся за Флавиана и даже Ликоспастова и в последнем налетел на сюрприз. Именно, читая рассказ, в котором был описан некий журналист (рассказ назывался "Жилец по ордеру"), я узнал продранный диван с выскочившей наружу пружинной, промокашку на столе... Иначе говоря, в рассказе был описан... я!

Брюки те же самые, втянутая в плечи голова и волчьи глаза... Ну, я, одним словом! Но, клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не лживый, не карьерист и чепухи такой, как в этом рассказе, никогда не произносил! Невыразима была моя грусть по прочтении ликоспастовского рассказа, и решил я все же взглянуть со стороны на себя построже, и за это решение очень обязан Ликоспастову.

Однако грусть и размышления мои по поводу моего несовершенства ничего, собственно, не стоили, по сравнению с ужасным сознанием, что я ничего не извлек из книжек самых наилучших писателей, путей, так сказать, не обнаружил, огней впереди не увидел, и все мне опостылело. И, как червь, начала сосать мне сердце прескверная мысль, что никакого, собственно, писателя из меня не выйдет. И тут же столкнулся с еще более ужасной мыслью о том, что... а ну как выйдет такой, как Ликоспастов? Осмелев, скажу и больше: а вдруг даже такой, как Агапенов? Гомоза? Что такое гомоза? И зачем кафры? Все это чепуха, уверяю вас!

Вне очерков я много проводил времени на диване, читая разные книжки, которые, по мере приобретения, укладывал на хромоногой этажерке и на столе и попросту в углу. Со своим собственным произведением я поступил так: уложил оставшиеся девять экземпляров и рукопись в ящики стола, запер их на ключ и решил никогда, никогда в жизни к ним не возвращаться.

Вьюга разбудила меня однажды. Вьюжный был март и бушевал, хотя и шел уже к концу. И опять, как тогда, я проснулся в слезах! Какая слабость, ах, какая слабость! И опять те же люди, и опять дальний город, и бок рояля, и выстрелы, и еще какой-то поверженный на снегу.

Родились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. Ясно было, что с ними так не разойтись. Но что же делать с ними?

Первое время я просто беседовал с ними, и все-таки книжку романа мне пришлось извлечь из ящика. Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра, и не раз я жалел, что кошки уже нет на свете и некому показать, как на странице в маленькой комнатке шевелятся люди. Я уверен, что зверь вытянул бы лапу и стал бы скрести страницу. Воображаю, какое любопытство горело бы в кошачьем глазу, как лапа царапала бы буквы!

С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля. Правда, если бы кому-нибудь я сказал бы об этом, надо полагать, мне посоветовали бы обратиться к врачу. Сказали бы, что играют внизу под полом, и даже сказали бы, возможно, что именно играют. Но я не обратил бы внимания на эти слова. Нет, нет! Играют на рояле у меня на столе, здесь происходит тихий перезвон клавишей. Но этого мало. Когда затихает дом и внизу ровно ни на чем не играют, я слышу, как сквозь вьюгу прорывается и тоскливая и злобная гармоника, а к гармонике присоединяются и сердитые и печальные голоса и ноют, ноют. О нет, это не под полом! Зачем же гаснет комнатка, зачем на страницах наступает зимняя ночь над Днепром, зачем выступают лошадиные морды, а над ними лица людей в папах. И вижу я острые шашки, и слышу я душу терзающий свист.

Вон бежит, задыхаясь, человек. Сквозь табачный дым я слежу за ним, я напрягаю зрение и вижу: сверкнуло сзади человека, выстрел, он, охнув, падает навзничь, как будто острым ножом его спереди ударили в сердце. Он неподвижно лежит, и от головы растекается черная лужица. А в высоте луна, а вдали цепочкой грустные, красноватые огоньки в селении.

Всю жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу... А как бы фиксировать эти фигурки? Так, чтобы они не ушли уже более никуда?

И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать?

А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцветивается. Она мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу: картинка первая. Я вижу вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют "Фауста". Вдруг "Фауст" смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу - напевает. Пишу - напевает.

Да это, оказывается, прелестная игра! Не надо ходить на вечеринки, ни в театр ходить не нужно.

Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу этой ночи я понял, что сочиняю пьесу.

В апреле месяце, когда исчез снег со двора, первая картинка была разработана. Герои мои и двигались, и ходили, и говорили.

В конце апреля и пришло письмо Ильчина.

И теперь, когда уже известна читателю история романа, я могу продолжать повествование с того момента, когда я встретился с Ильчиным.

## Глава 8. ЗОЛОТОЙ КОНЬ

- Да, - хитро и таинственно прищуриваясь, повторил Ильчин, - я ваш роман прочитал.

Во все глаза я глядел на собеседника своего, то трепетно озаряемого, то потухающего. За окнами хлестала вода. Впервые в жизни я видел перед собою читателя.

- А как же вы его достали? Видите ли... Книжка... - я намекал на роман...

- Вы Гришу Айвазовского знаете?

- Нет.

Ильчин поднял брови, он изумился.

- Гриша заведует литературной частью в Когорте Дружных.

- А что это за Когорта?

Ильчин настолько изумился, что дождался молнии, чтобы рассмотреть меня.

Полоснуло и потухло, и Ильчин продолжал:

- Когорта - это театр. Вы никогда в нем не были?

- Я ни в каких театрах не был. Я, видите ли, недавно в Москве.

Сила грозы упала, и стал возвращаться день. Я видел, что возбуждаю в Ильчине веселое изумление.

- Гриша был в восторге, - почему-то еще таинственнее говорил Ильчин, - и дал мне книжку. Прекрасный роман.

Не зная, как поступать в таких случаях, я отвесил поклон Ильчину.

- И знаете ли, какая мысль пришла мне в голову, - зашептал Ильчин, от таинственности прищуривая левый глаз, - из этого романа вам нужно сделать пьесу!

"Перст судьбы!" - подумал я и сказал:

- Вы знаете, я уже начал ее писать.

Ильчин изумился до того, что правой рукою стал чесать левое ухо и еще сильнее прищурился. Он даже, кажется, не поверил сначала такому совпадению, но справился с собою.

- Чудесно, чудесно! Вы непременно продолжайте, не останавливаясь ни на секунду. Вы Мишу Панина знаете?

- Нет.

- Наш заведующий литературной частью.

- Ага.

Дальше Ильчин сказал, что, ввиду того что в журнале напечатана только треть романа, а зная продолжение до зарезу необходимо, мне следует прочитать по рукописи это продолжение ему и Мише, а также Евлампии Петровне, и, наученный опытом, уже не спросил, знаю ли я ее, а объяснил сам, что это женщина-режиссер.

Величайшее волнение возбуждали во мне все проекты Ильчина.

А тот шептал:

- Вы напишете пьесу, а мы ее и поставим. Вот будет замечательно! А?

Грудь моя волновалась, я был пьян дневной грозой, какими-то предчувствиями. А Ильчин говорил:

- И знаете ли, чем черт не шутит, вдруг старика удастся обломать... А?

Узнав, что я и старика не знаю, он даже головою покачал, и в глазах у него написалось: "Вот дитя природы!"

- Иван Васильевич! - шепнул он. - Иван Васильевич! Как? Вы не знаете его? Не слышали, что он стоит во главе Независимого? - И добавил: - Ну и ну!..

В голове у меня все вертелось, и главным образом от того, что окружающий мир меня волновал чем-то. Как будто в давних сновидениях я видел его уже, и вот я оказался в нем. Мы с Ильчиным вышли из комнаты, прошли зал с камином, и до пьяной радости мне понравился этот зал. Небо расчистилось, и вдруг луч лег на паркет. А потом мы прошли мимо странных дверей, и, видя мою заинтересованность, Ильчин соблазнительно поманил меня пальцем внутрь. Шаги пропали, настало беззвучие и полная подземная тьма. Спасительная рука моего спутника вытащила меня, в продолговатом разрезе посветлело искусственно - это спутник мой раздвинул другие портьеры, и мы оказались в маленьком зрительном зале мест на триста. Под потолком тускло горело две лампы в люстре, занавес был открыт, и сцена зияла. Она была торжественна, загадочна и пуста. Углы ее заливал мрак, а в середине, поблескивая чуть-чуть, высился золотой, поднявшийся на дыбы, конь.

- У нас выходной, - шептал торжественно, как в храме, Ильчин, потом он оказался у другого уха и продолжал: - У молодежи пьеска разойдется, лучше требовать нельзя. Вы не смотрите, что зал кажется маленьким, на самом деле он большой, а сборы здесь, между прочим, полные. А если старика удастся переупрямить, то, чего доброго, не пошла бы она и на большую сцену! А?

"Он соблазняет меня, - думал я, и сердце замирало и вздрагивало от предчувствий, - но почему он совсем не то говорит? Право, не важны эти большие сборы, а важен только этот золотой конь, и чрезвычайно интересен загадочнейший старик, которого нужно уламывать и переупрямить для того, чтобы пьеса пошла..."

- Этот мир мой... - шепнул я, не заметив, что начинаю говорить вслух.

- А?

- Нет, я так.

Расстались мы с Ильчиным, причем я унес от него записочку:

1 Досточтимый Петр Петрович!

1 Будьте добры обязательно устроить автору

1 "Черного снега" место на "Фаворита".

1 Ваш душевно Ильчин.

- Это называется контрамарка, - объяснил мне Ильчин, и я с волнением покинул здание, унося первую в жизни своей контрамарку.

С этого дня жизнь моя резко изменилась. Я днем лихорадочно работал над пьесой, причем в дневном свете картинки из страниц уже не появлялись, коробка раздвинулась до размеров учебной сцены.

Вечером я с нетерпением ждал свидания с золотым конем.

Я не могу сказать, хороша ли была пьеса "Фаворит" или дурна. Да это меня и не интересовало. Но была какая-то необъяснимая прелесть в этом представлении. Лишь только в малюсеньком зале потухал свет, за сценой где-то начиналась музыка и в коробке выходили одетые в костюмы XVIII века. Золотой конь стоял сбоку сцены, действующие лица иногда выходили и садились у копыт коня или вели страстные разговоры у его морды, а я наслаждался.

Горькие чувства охватывали меня, когда кончалось представление и нужно было уходить на улицу. Мне очень хотелось надеть такой же точно кафтан, как и на актерах, и принять участие в действии. Например, казалось, что было бы очень хорошо, если бы выйти внезапно сбоку, наклеив себе колоссальный курносый пьяный нос, в табачном кафтане, с тростью и табакеркою в руке и сказать очень смешное, и это смешное я выдумывал, сидя в тесном ряду зрителей. Но произносили другие смешное, сочиненное другим, и зал по временам смеялся. Ни до этого, ни после этого никогда в жизни не было ничего у меня такого, что вызывало бы наслаждение больше этого. На "Фаворите" я, вызывая изумление мрачного и замкнутого Петра Петровича, сидящего в окошечке с надписью "Администратор Учебной сцены", побывал три раза, причем в первый раз во 2-м ряду, во

второй - в 6-м, а в третий - в 11-м. А Ильчин исправно продолжал снабжать меня записочками, и я посмотрел еще одну пьесу, где выходили в испанских костюмах и где один актер играл слугу так смешно и великолепно, что у меня от наслаждения выступал на лбу мелкий пот.

Затем настал май, и как-то вечером соединились наконец и Евлампия Петровна, и Миша, и Ильчин, и я. Мы попали в узенькую комнату в этом же здании Учебной сцены. Окно уже было раскрыто, и город давал знать о себе гудками.

Евлампия Петровна оказалась царственной дамой с царственным лицом и бриллиантовыми серьгами в ушах, а Миша поразил меня своим смехом. Он начинал смеяться внезапно - "ах, ах, ах", - причем тогда все останавливали разговор и ждали. Когда же отсмеивался, то вдруг старел, умолкал.

"Какие траурные глаза у него, - я начинал по своей болезненной привычке фантазировать. - Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске, - думал я, - и теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою". Мне Миша очень понравился.

И Миша, и Ильчин, и Евлампия Петровна показали свое необыкновенное терпение, и в один присест я прочитал им ту треть романа, которая следовала за напечатанною. Вдруг, почувствовав угрызения совести, я остановился, сказав, что дальше и так все понятно. Было поздно.

Между слушателями произошел разговор, и, хотя они говорили по-русски, я ничего не понял, настолько он был загадочен.

Миша имел обыкновение, обсуждая что-либо, бегать по комнате, иногда внезапно останавливаясь.

- Осип Иваныч? - тихо спросил Ильчин, шурясь.

- Ни-ни, - отозвался Миша и вдруг затрясся в хохоте. Отхохотавшись, он опять вспомнил про застреленного и постарел.

- Вообще старейшины... - начал Ильчин.

- Не думаю, - буркнул Миша.

Дальше слышалось:

- Да ведь на одних Галиных да на подсобляющем не очень-то... (Это - Евлампия Петровна).

- Простите, - заговорил Миша резко и стал рубить рукой, - я давно утверждаю, что пора поставить этот вопрос на театре!

- А как же Сивцев Вражек? (Евлампия Петровна).

- Да и Индия, тоже неизвестно, как отнесется к этому дельцу, - добавил Ильчин.

- На кругу бы сразу все поставить, - тихо шептал Ильчин, - они так с музычкой и поедут.

- Сивцев! - многозначительно сказала Евлампия Петровна.

Тут на лице моем выразилось, очевидно, полное отчаяние, потому что слушатели оставили свой непонятный разговор и обратились ко мне.

- Мы все убедительно просим, Сергей Леонтьевич, - сказал Миша, - чтобы пьеса была готова не позже августа... Нам очень, очень нужно, чтобы к началу сезона ее уже можно было прочесть.

Я не помню, чем кончился май. Стерся в памяти и июнь, но помню июль. Настала необыкновенная жара. Я сидел голый, завернувшись в простыню, и сочинял пьесу. Чем дальше, тем труднее она становилась. Коробочка моя давно уже не звучала, роман потух и лежал мертвый, как будто и нелюбимый. Цветные фигурки не шевелились на столе, никто не приходил на помощь. Перед глазами теперь вставала коробка Учебной сцены. Герои разрослись и вошли в нее складно и очень бодро, но, по-видимому, им так понравилось на ней рядом с золотым конем, что уходить они никуда не собирались, и события развивались, а конца им не виделось. Потом жара упала, стеклянный кувшин, из которого я пил кипяченую воду, опустел, на дне плавала муха. Пошел дождь, настал август. Тут я получил письмо от Миши Панина. Он спрашивал о пьесе.

Я набрался храбрости и ночью прекратил течение событий. В пьесе было тринадцать картин.

## Глава 9. НАЧАЛОСЬ

Надо мною я видел, поднимая голову, матовый шар, полный света, сбоку серебряный колоссальных размеров венок в стеклянном шкафу с лентами и надписью: "ЛЮБИМОМУ НЕЗАВИСИМОМУ ТЕАТРУ ОТ МОСКОВСКИХ ПРИСЯЖНЫХ..." (одно слово загнулось), перед собою я видел улыбающиеся актерские лица, по большей части меняющиеся.

Издали доносилась тишина, а изредка какое-то дружное тоскливое пение, потом какой-то шум, как в бане. Там шел спектакль, пока я читал свою пьесу.

Лоб я постоянно вытирал платком и видел перед собою коренастого плотного человека, гладко выбритого, с густыми волосами на голове. Он стоял в дверях и не спускал с меня глаз, как будто что-то обдумывая.

Он только и запомнился, все остальное прыгало, светилось и менялось; неизменен был, кроме того, венок. Он резче всего помнится. Таково было чтение, но уже не на Учебной сцене, а на Главной.

Уходя ночью, я, обернувшись, посмотрел, где я был. В центре города, там, где рядом с театром гастрономический магазин, а напротив "Бандажи и корсеты", стояло ничем не примечательное здание, похожее на черепаху и с матовыми, кубической формы, фонарями. На следующий день это здание предстало передо мною в осенних сумерках внутри. Я, помнится, шел по мягкому ковру солдатского сукна вокруг чего-то, что, как мне казалось, было внутренней стеной зрительного зала, и очень много народу мимо меня сновало. Начинался сезон.

И я шел по беззвучному сукну и пришел в кабинет, чрезвычайно приятно обставленный, где застал пожилого, приятного же человека с бритым лицом и веселыми глазами. Это и был заведующий приемом пьес Антон Антонович Княжевич.

Над письменным столом Княжевича висела яркая радостная картинка... помнится, занавес на ней был с пунцовыми кистями, а за занавесом бледно-зеленый веселый сад...

- А, товарищ Максудов, - приветливо вскричал Княжевич, склоняя голову набок, - а мы уж вас поджидаем, поджидаем! Прошу покорнейше, садитесь, садитесь!

И я сел в приятнейшее кожаное кресло.

- Слышал, слышал, слышал вашу пьесу, - говорил, улыбаясь, Княжевич и почему-то развел руками, - прекрасная пьеса! Правда, таких пьес мы никогда не ставили, ну, а эту вдруг возьмем да и поставим, да и поставим...

Чем больше говорил Княжевич, тем веселее становились его глаза.

- ...и разбогатеете до ужаса, - продолжал Княжевич, - в каретах будете ездить! Да-с, в каретах!

"Однако, - думалось мне, - он сложный человек, этот Княжевич... очень сложный..."

И чем больше веселился Княжевич, я становился, к удивлению моему, все напряженнее.

Поговорив еще со мною, Княжевич позвонил.

- Мы вас сейчас отправим к Гавриилу Степановичу, прямо ему, так сказать, в руки передадим, в руки! Чудеснейший человек Гавриил-то наш Степанович... Мухи не обидит! Мухи!

Но вошедший на звонок человек в зеленых петлицах выразился так:

- Гавриил Степанович еще не прибыли в театр.

- А не прибыл, так прибьет, - радостно, как и раньше, отозвался Княжевич, - не пройдет и полчаса, как прибьет! А вы, пока суд да дело, погуляйте по театру, полюбуйтесь, повеселитесь, попейте чаю в буфете да бутербродов-то, бутербродов-то не жалеите, не обижайте нашего буфетчика Ермолая Ивановича!

И я пошел гулять по театру. Хожение по сукну доставляло мне физическое удовольствие, и еще радовала таинственная полутьма повсюду и тишина.

В полутьме я сделал еще одно знакомство. Человек моих примерно лет, худой, высокий, подошел ко мне и назвал себя:

- Петр Бомбардов.

Бомбардов был актером Независимого Театра, сказал, что слышал мою пьесу и что, по его мнению, это хорошая пьеса.

С первого же момента я почему-то подружился с Бомбардовым. Он произвел на меня впечатление очень умного, наблюдательного человека.

- Не хотите ли посмотреть нашу галерею портретов в фойе? - спросил вежливо Бомбардов. Я поблагодарил его за предложение, и мы вошли в громадное фойе, также устланное серым сукном. Простенки фойе в несколько рядов были увешаны портретами и увеличенными фотографиями в золоченых овальных рамах.

Из первой рамы на нас глянула писанная маслом женщина лет тридцати, с экстатическими глазами, во взбитой крутой челке, декольтированная.

- Сара Бернар, - объяснил Бомбардов.

Рядом с прославленной актрисой в раме помещалось фотографическое изображение человека с усами.

- Севастьянов Андрей Пахомович, заведующий осветительными приборами театра, - вежливо сказал Бомбардов.

Соседа Севастьянова я узнал сам, это был Мольер. За Мольером помещалась дама в крошечной, набок надетой шляпке блюдечком, в косынке, застегнутой стрелой на груди, и с кружевным платочком, который дама держала в руке, оттопырив мизинец.

- Людмила Сильвестровна Пряхина, артистка нашего театра, - сказал Бомбардов, причем какой-то огонек сверкнул у него в глазах. Но, покосившись на меня, Бомбардов ничего не прибавил.

- Виноват, а это кто же? - удивился я, глядя на жесткое лицо человека с лавровыми листьями в кудрявой голове. Человек был в тоге и в руке держал пятиструнную лиру.

- Император Нерон, - сказал Бомбардов, и опять глаз его сверкнул и погас.

- А почему?..

- По приказу Ивана Васильевича, - сказал Бомбардов, сохраняя неподвижность лица. - Нерон был певец и артист.

- Так, так, так.

За Нероном помещался Грибоедов, за Грибоедовым - Шекспир в отложном крахмальном воротничке, за ним - неизвестный, оказавшийся Плисовым, заведующим поворотным кругом в театре в течение сорока лет.

Далее шли Живокини, Гольдони, Бомарше, Стасов, Щепкин. А потом из рамы глянул на меня лихо заломленный уланский кивер, под ним барское лицо, нафиксатуренные усы, генеральские кавалерийские эполеты, красный лацкан, лядунка.

- Покойный генерал-майор Клавдий Александрович Комаровский-Эшаппар де Бонкур, командир лейб-гвардии уланского его величества полка. - И тут же, видя мой интерес, Бомбардов рассказал: - История его совершенно необыкновенная. Как-то приехал он на два дня из Питера в Москву, пообедал у Тестова, а вечером попал в наш театр. Ну, натурально, сел в первом ряду, смотрит... Не помню, какую пьесу играли, но очевидцы рассказывали, что во время картины, где был изображен лес, с генералом что-то случилось. Лес в закате, птицы перед сном засвистели, за сценой благовест к вечерне в селенье дальнем... Смотрят, генерал сидит и батистовым платком утирает глаза. После спектакля пошел в кабинет к Аристарху Платоновичу. Капельдинер потом рассказывал, что, входя в кабинет, генерал сказал глухо и страшно: "Научите, что делать?!"

Ну, тут они затворились с Аристархом Платоновичем...

- Виноват, а кто это Аристарх Платонович? - спросил я.

Бомбардов удивленно поглядел на меня, но стер удивление с лица тотчас же и объяснил:

- Во главе нашего театра стоят двое директоров - Иван Васильевич и Аристарх Платонович. Вы, простите, не москвич?

- Нет, я - нет... Продолжайте, пожалуйста.

- ...заперлись, и о чем говорили, неизвестно, но известно, что ночью же генерал послал в Петербург телеграмму такого содержания: "Петербург. Его величеству. Почувствовав призвание быть актером вашего величества Независимого Театра, всеподданнейше прошу об отставке. Комаровский-Бионкур".

Я ахнул и спросил:

- И что же было?!

- Компот такой получился, что просто прелесть, - ответил Бомбардов. - Александру Третьему телеграмму подали в два часа ночи. Специально разбудили. Тот в одном белье, борода, крестик... говорит: "Давайте сюда! Что там с моим Эшаппаром?" Прочитал и две минуты не мог ничего сказать, только побагровел и сопел, потом говорит: "Дайте карандаш!" - и тут же начертал резолюцию на телеграмме: "Чтоб духу его в Петербурге не было. Александр". И лег спать.

А генерал на другой день в визитке, в брюках пришел прямо на репетицию.

Резолюцию покрыли лаком, а после революции телеграмму передали в театр. Вы можете видеть ее в нашем музее редкостей.

- Какие же роли он играл? - спросил я.

- Царей, полководцев и камердинеров в богатых домах, - ответил Бомбардов, - у нас, знаете ли, все больше насчет Островского, купцы там... А потом долго играли "Власть тьмы"... Ну, натурально, манеры у нас, сами понимаете... А он все насквозь знал, даме ли платок, налить ли вина, по-французски говорил идеально, лучше французов... И была у него еще страсть: до ужаса любил изображать птиц за сценой. Когда шли пьесы, где действие весной в деревне, он всегда сидел в кулисах на стремянке и свистел соловьем. Вот такая странная история!

- Нет! Я не согласен с вами! - воскликнул я горячо. - У вас так хорошо в театре, что, будь я на месте генерала, я поступил бы точно так же...

- Каратыгин, Тальони, - перечислял Бомбардов, ведя меня от портрета к портрету, - Екатерина Вторая, Карузо, Феофан Прокопович, Игорь Северянин, Баттистини, Эврипид, заведующая женским пошивочным цехом Бобылева.

Но тут беззвучной рысью вбежал в фойе один из тех, что были в зеленых петлицах, и шепотом доложил, что Гавриил Степанович в театр прибыли. Бомбардов прервал себя на полуслове, крепко пожал мне руку, причем произнес загадочные слова тихо:

- Будьте тверды... - И его размыло где-то в полумраке.

Я же двинулся вслед за человеком в петлицах, который иноходью шел впереди меня, изредка подманивая меня пальцем и улыбаясь болезненной улыбкой.

На стенах широкого коридора, по которому двигались мы, через каждые десять шагов встречались огненные электрические надписи: "ТИШИНА! РЯДОМ РЕПЕТИРУЮТ!"

Человек в золотом пенсне и тоже в зеленых петлицах, сидевший в конце этого идущего по кругу коридора в кресле, увидев, что меня ведут, вскочил, шепотом гаркнул: "Здравия желаю!" - и распахнул тяжелую портьеру с золотым вышитым вензелем театра "НТ".

Тут я оказался в шатре. Зеленый шелк затягивал потолок, радиусами расходясь от центра, в котором горел хрустальный фонарь. Стояла тут мягкая шелковая мебель. Еще портьера, а за нею застекленная матовым стеклом дверь. Мой новый проводник в пенсне к ней не приблизился, а сделал жест, означавший "постучите-с!", и тотчас пропал.

Я стукнул тихо, взялся за ручку, сделанную в виде головы посеребренного орла, засипела пневматическая пружина, и дверь впустила меня. Я лицом ткнулся в портьеру, запутался, откинул ее...

Меня не будет, меня не будет очень скоро! Я решил, но все же это страшновато... Но, умирая, я буду вспоминать кабинет, в котором меня принял управляющий материальным фондом театра Гавриил Степанович.

Лишь только я вошел, нежно прозвенели и заиграли менуэт громадные часы в левом углу. В глаза мне бросились разные огни. Зеленый с письменного стола, то есть, вернее, не

стола, а бюро, то есть не бюро, а какого-то очень сложного сооружения с десятками ящичков, с вертикальными отделениями для писем, с другою лампою на гнущейся серебристой ноге, с электрической зажигалкой для сигар.

Адский красный огонь из-под стола палисандрового дерева, на котором три телефонных аппарата. Крохотный белый огонек с маленького столика с плоской заграничной машинкой, с четвертым телефонным аппаратом и стопкой золотообрезной бумаги с гербами "НТ". Огонь отраженный, с потолка.

Пол кабинета был затянут сукном, но не солдатским, а бильярдным, а поверх его лежал вишневый, в вершок толщины, ковер. Колоссальный диван с подушками и турецкий кальян возле него. На дворе был день в центре Москвы, но ни один луч, ни один звук не проникал в кабинет снаружи через окно, наглухо завешенное в три слоя портьерами. Здесь была вечная мудрая ночь, здесь пахло кожей, сигарой, духами. Нагретый воздух ласкал лицо и руки.

На стене, затянутой тисненным золотом сафьяном, висел большой фотографический портрет человека с артистической шевелюрой, прищуренными глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. Я догадался, что это Иван Васильевич или Аристарх Платонович, но кто именно из двух, не знал.

Резко повернувшись на винте табурета, ко мне обратился небольшого роста человек с французской черной бородкой, с усами-стрелами, торчащими к глазам.

- Максудов, - сказал я.

- Извините, - отозвался новый знакомый высоким тенорком и показал, что сейчас, мол, только дочитаю бумагу и...

...он дочитал бумагу, сбросил пенсне на черном шнурке, протер утомленные глаза и, окончательно повернувшись спиной к бюро, уставился на меня, ничего не говоря. Он прямо и откровенно смотрел мне в глаза, внимательно изучая меня, как изучают новый, только что приобретенный механизм. Он не скрывал, что изучает меня, он даже прищурился. Я отвел глаза - не помогло, я стал ерзать на диване... Наконец я подумал: "Эге-ге..." - и сам, правда сделав над собою очень большое усилие, уставился в ответ в глаза человеку. При этом смутное неудовольствие почувствовал почему-то по адресу Княжевича.

"Что за странность, - думал я, - или он слепой, этот Княжевич... мухи... мухи... не знаю... не знаю... Стальные, глубоко посаженные маленькие глаза... в них железная воля, дьявольская смелость, непреклонная решимость... французская бородка... почему он мухи не обидит?.. Он жутко похож на предводителя мушкетеров у Дюма... Как его звали... Забыл, черт возьми!"

Дальнейшее молчание стало нестерпимым, и прервал его Гавриил Степанович. Он игриво почему-то улыбнулся и вдруг пожал мне коленку.

- Ну, что ж, договорчик, стало быть, надо подписать? - заговорил он.

Вольт на табурете, обратный вольт, и в руках у Гавриила Степановича оказался договор.

- Только уж не знаю, как его подписывать, не согласовав с Иваном Васильевичем? - И тут Гавриил Степанович бросил невольный краткий взгляд на портрет.

"Ага! Ну, слава богу... теперь знаю, - подумал я, - это Иван Васильевич".

- Не было б беды? - продолжал Гавриил Степанович. - Ну, уж для вас разве! - Он улыбнулся дружелюбно.

Тут без стука открылась дверь, откинулась портьера, и вошла дама с властным лицом южного типа, глянула на меня. Я поклонился ей, сказал:

- Максудов...

Дама пожалала мне крепко, по-мужски, руку, ответила:

- Августа Менажраки, - села на табурет, вынула из кармашка зеленого джемпера золотой мундштук, закурила и тихо застучала на машинке.

Я прочитал договор, откровенно говорю, что ничего не понял и понять не старался.

Мне хотелось сказать: "Играйте мою пьесу, мне же ничего не нужно, кроме того, чтобы мне было предоставлено право приходить сюда ежедневно, в течение двух часов лежать на этом диване, вдыхать медовый запах табака, слушать звон часов и мечтать!"

По счастью, я этого не произнес. Запомнилось, что часто в договоре попадались слова "буде" и "поелику" и что каждый пункт начинался словами: "Автор не имеет права".

Автор не имел права передавать свою пьесу в другой театр Москвы.

Автор не имел права передавать свою пьесу в какой-либо театр города Ленинграда.

Автор не имел права передавать свою пьесу ни в какой город РСФСР.

Автор не имел права передавать свою пьесу ни в какой город УССР.

Автор не имел права печатать свою пьесу.

Автор не имел права чего-то требовать от театра, а чего - я забыл (пункт 21-й).

Автор не имел права протестовать против чего-то, и чего - тоже не помню.

Один, впрочем, пункт нарушал единообразие этого документа - это был пункт 57-й. Он начинался словами: "Автор обязуется". Согласно этому пункту, автор обязывался "безоговорочно и незамедлительно производить в своей пьесе поправки, изменения, добавления или сокращения, буде дирекция, или какие-либо комиссии, или учреждения, или организации, или корпорации, или отдельные лица, облеченные надлежащими на то полномочиями, потребуют таковых, - не требуя за сие никакого вознаграждения, кроме того, каковое указано в пункте 15-м".

Обратив свое внимание на этот пункт, я увидел, что в нем после слов "вознаграждение" следовало пустое место.

Это место я вопросительно подчеркнул ногтем.

- А какое вознаграждение вы считали бы для себя приемлемым? - спросил Гавриил Степанович, не сводя с меня глаз.

- Антон Антонович Княжевич, - сказал я, - сказал, что мне дадут две тысячи рублей...

Мой собеседник уважительно наклонил голову.

- Так, - молвил он, помолчал и добавил: - Эх, деньги, деньги! Сколько зла из-за них в мире! Все мы только и думаем о деньгах, а вот о душе подумал ли кто?

Я до того во время моей трудной жизни отвык от таких сентенций, что, признаться, растерялся... подумал: "А кто знает, может, Княжевич и прав... Просто я зачерствел и стал подозрителен..." Чтобы соблюсти приличие, я испустил вздох, а собеседник ответил мне, в свою очередь, вздохом, потом вдруг игриво подмигнул мне, что совершенно не вязалось со вздохом, и шепнул интимно:

- Четыреста рубликов? А? Только для вас? А?

Должен признаться, что я огорчился. Дело в том, что у меня как раз не было ни копейки денег и я очень рассчитывал на эти две тысячи.

- А может быть, можно тысячу восемьсот? - спросил я, - Княжевич говорил...

- Популярности ищет, - горько отозвался Гавриил Степанович.

Тут в дверь стукнули, и человек в зеленых петлицах внес поднос, покрытый белой салфеткой. На подносе помещался серебряный кофейник, молочник, две фарфоровые чашки, апельсинного цвета снаружи и золоченые внутри, два бутерброда с зернистой икрой, два с оранжевым прозрачным балыком, два с сыром, два с холодным ростбифом.

- Вы отнесли пакет Ивану Васильевичу? - спросила вошедшего Августа Менажраки.

Тот изменился в лице и покосил поднос.

- Я, Августа Авдеевна, в буфет бегал, а Игнутов с пакетом побежал, - заговорил он.

- Я не Игнутову приказывала, а вам, - сказала Менажраки, - это не игнутовское дело пакеты Ивану Васильевичу относить. Игнутов глуп, что-нибудь перепутает, не так скажет... Вы, что же, хотите, чтобы у Ивана Васильевича температура поднялась?

- Убить хочет, - холодно сказал Гавриил Степанович.

Человек с подносом тихо простонал и уронил ложечку.

- Где Пакин был в то время, как вы пропадали в буфете? - спросила Августа Авдеевна.

- Пакин за машиной побежал, - объяснил спрашиваемый, - я в буфет побежал, говорю Игнупову - "беги к Ивану Васильевичу".

- А Бобков?

- Бобков за билетами бегал.

- Поставьте здесь! - сказала Августа Авдеевна, нажала кнопку, и из стены выскочила столовая доска.

Человек в петлицах обрадовался, покинул поднос, задом откинул портьеру, ногой открыл дверь и вдавился в нее.

- О душе, о душе подумайте, Клюквин! - вдогонку ему крикнул Гавриил Степанович и, повернувшись ко мне, интимно сказал:

- Четыреста двадцать пять. А?

Августа Авдеевна надкусила бутерброд и тихо застучала одним пальцем.

- А может быть, тысячу триста? Мне, право, неловко, но я сейчас не при деньгах, а мне портному платить...

- Вот этот костюм шил? - спросил Гавриил Степанович, указывая на мои штаны.

- Да.

- И сшил-то, шельма, плохо, - заметил Гавриил Степанович, - гоните вы его в шею!

- Но, видите ли...

- У нас, - затрудняясь, сказал Гавриил Степанович, - как-то и прецедентов-то не было, чтобы мы авторам деньги при договоре выдавали, но уж для вас... четыреста двадцать пять!

- Тысячу двести, - бодрее отозвался я, - без них мне не выбраться... трудные обстоятельства...

- А вы на бегах не пробовали играть? - участливо спросил Гавриил Степанович.

- Нет, - с сожалением ответил я.

- У нас один актер тоже запутался, поехал на бега и, представьте, выиграл полторы тысячи. А у нас вам смысла нет брать. Дружески говорю, переберете - пропадете! Эх, деньги! И зачем они? Вот у меня их нету, и так легко у меня на душе, так спокойно... - И Гавриил Степанович вывернул карман, в котором, действительно, денег не было, а была связка ключей на цепочке.

- Тысячу, - сказал я.

- Эх, пропади все пропадом! - лихо вскричал Гавриил Степанович. - Пусть меня потом хоть расказнят, но выдам вам пятьсот рублей. Подписывайте!

Я подписал договор, причем Гавриил Степанович разъяснил мне, что деньги, которые будут даны мне, являются авансом, каковой я обязуюсь погасить из первых же спектаклей. Уговорились, что сегодня я получу семьдесят пять рублей, через два дня - сто рублей, потом в субботу - еще сто, а остальные - четырнадцатого.

Боже! Какой прозаической, какой унылой показалась мне улица после кабинета. Моросило, подвода с дровами застряла в воротах, и ломовой кричал на лошадь страшным голосом, граждане шли с недовольными из-за погоды лицами. Я несся домой, стараясь не видеть картин печальной прозы. Заветный договор хранился у моего сердца.

В своей комнате я застал своего приятеля (смотри историю с револьвером).

Я мокрыми руками вытащил из-за пазухи договор, вскричал:

- Читайте!

Друг мой прочитал договор и, к великому моему удивлению, рассердился на меня.

- Это что за филькина грамота? Вы что, голова садовая, подписываете? - спросил он.

- Вы в театральных делах ничего не понимаете, стало быть, и не говорите! - рассердился и я.

- Что такое - "обязуется, обязуется", а они обязуются хоть в чем-нибудь? - забурчал мой друг.

Я горячо стал рассказывать ему о том, что такое картинная галерея, какой душевный человек Гавриил Степанович, упомянул о Саре Бернар и генерале Комаровском. Я хотел

передать, как звенит менуэт в часах, как дымится кофе, как тихо, как волшеббно звучат шаги на сукне, но часы били у меня в голове, я сам-то видел и золотой мундштук, и адский огонь в электрической печке, и даже императора Нерона, но ничего этого передать не сумел.

- Это Нерон у них составляет договоры? - дико сострил мой друг.

- Да ну вас! - вскричал я и вырвал у него договор. Порешили позавтракать, послали Дусиного брата в магазин.

Шел осенний дождик. Какая ветчина была, какое масло! Минуты счастья.

Московский климат известен своими капризами. Через два дня был прекрасный, как бы летний, теплый день. И я спешил в Независимый. Со сладким чувством, предвкушая получку ста рублей, я приблизился к Театру и увидел в средних дверях скромную афишу.

Я прочитал:

Репертуар,

намеченный в текущем сезоне:

Эсхил - "Агамемнон"

Софокл - "Филоклет"

Лопе де Вега - "Сети Фенизы"

Шекспир - "Король Лир"

Шиллер - "Орлеанская дева"

Островский - "Не от мира сего"

Максудов - "Черный снег"

Открывши рот, я стоял на тротуаре, - и удивляюсь, почему у меня не вытащили бумажник в это время. Меня толкали, говорили что-то неприятное, а я все стоял, созерцая афишу. Затем я отошел в сторонку, намереваясь увидеть, какое впечатление производит афиша на проходящих граждан.

Выяснилось, что не производит никакого. Если не считать трех-четырех, взглянувших на афишу, можно сказать, что никто ее и не читал.

Но не прошло и пяти минут, как я был вознагражден сторицей за свое ожидание. В потоке шедших к театру я отчетливо разглядел крупную голову Егора Агапенюва. Шел он к театру с целой свитой, в которой мелькнул Ликоспастов с трубкой в зубах и неизвестный с толстым приятным лицом. Последним мыкался кафр в летнем, необыкновенном желтом пальто и почему-то без шляпы. Я ушел глубже в нишу, где стояла незрячая статуя, и смотрел.

Компания поравнялась с афишей и остановилась. Не знаю, как описать то, что произошло с Ликоспастовым. Он первый задержался и прочел. Улыбка еще играла на его лице, еще слова какого-то анекдота договаривали его губы. Вот он дошел до "Сетей Фенизы". Вдруг Ликоспастов стал бледен и как-то сразу постарел. На лице его выразился неподдельный ужас.

Агапенюв прочитал, сказал:

- Гм...

Толстый неизвестный заморгал глазами... "Он припоминает, где он слышал мою фамилию..."

Кафр стал спрашивать по-английски, что увидели его спутники... Агапенюв сказал:

- Афиш, афиш, - и стал чертить в воздухе четырехугольник. Кафр мотал головой, ничего не понимая.

Публика шла валом и то заслоняла, то открывала головы компании. Слова то долетали до меня, то тонули в уличном шуме.

Ликоспастов повернулся к Агапенюву и сказал:

- Нет, вы видели, Егор Нилыч? Что ж это такое? - Он тоскливо огляделся. - Да они с ума сошли!..

Ветер сдул конец фразы.

Доносились клочья то агапенювского баса, то ликоспастовского тенора.

- ...Да откуда он взялся?.. Да я же его и открыл... Тот самый... Гу... гу... гу... Жуткий тип... Я вышел из ниши и пошел прямо на читавших. Ликоспастов первый увидел меня, и меня поразило то изменение, которое произошло в его глазах. Это были ликоспастовские глаза, но что-то в них появилось новое, отчужденное, легла какая-то пропасть между нами...

- Ну, брат, - вскричал Ликоспастов, - ну, брат! Благодарю, не ожидал! Эсхил, Софокл и ты! Как ты это проделал, не понимаю, но это гениально! Ну, теперь ты, конечно, приятелей узнавать не будешь! Где уж нам с Шекспирами водить дружбу!

- А ты бы перестал дурака валять! - сказал я робко.

- Ну вот, слова уж сказать нельзя! Экий ты, ей-богу! Ну, я зла на тебя не питаю. Давай почеломкаемся, старик! - И я ощутил прикосновение щеки Ликоспастова, усеянной короткой проволокой. - Познакомьтесь! - И я познакомился с толстым, не спускавшим с меня глаз. Тот сказал:

- Крупп.

Познакомился я и с кафром, который произнес очень длинную фразу на ломаном английском языке. Так как этой фразы я не понял, то ничего кафру и не сказал.

- На Учебной сцене, конечно, играть будут? - допытывался Ликоспастов.

- Не знаю, - ответил я, - говорят, что на Главной. Опять побледнел Ликоспастов и тоскливо глянул в сияющее небо.

- Ну что ж, - сказал он хрипло, - давай бог. Давай, давай. Может быть, тут тебя постигнет удача. Не вышло с романом, кто знает, может быть, с пьесой выйдет. Только ты не загордись. Помни: нет ничего хуже, чем друзей забывать!

Крупп глядел на меня и почему-то становился все задумчивее; причем я заметил, что он внимательнее всего изучает мои волосы и нос.

Надо было расставаться. Это было тягостно. Егор, пожимая мне руку, осведомился, прочел ли я его книгу. Я похолодел от страха и сказал, что не читал. Тут побледнел Егор.

- Где уж ему читать, - заговорил Ликоспастов, - у него времени нету современную литературу читать... Ну, шучу, шучу...

- Вы прочтите, - веско сказал Егор, - хорошая книжица получилась.

Я вошел в подъезд бельэтажа. Окно, выходящее на улицу, было открыто. Человек с зелеными петлицами протирает его тряпкой. Головы литераторов проплыли за мутным стеклом, донесся голос Ликоспастова:

- Бьешься... бьешься, как рыба об лед... Обидно!

Афиша все перевернула у меня в голове, и я чувствовал только одно, что пьеса моя, по существу дела, чрезвычайно, между нами говоря, плоха и что что-то надо бы предпринять, но что - неизвестно.

...И вот у лестницы, ведущей в бельэтаж, передо мною предстал коренастый блондин с решительным лицом и встревоженными глазами. Блондин держал пухлый портфель.

- Товарищ Максудов? - спросил блондин.

- Да, я...

- Ищу вас по всему театру, - заговорил новый знакомый, - позвольте представиться - режиссер Фома Стриж. Ну, все в порядке. Не волнуйтесь и не беспокойтесь, пьеса ваша в хороших руках. Договор подписали?

- Да.

- Теперь вы наш, - решительно продолжал Стриж. Глаза его сверкали, - вам бы вот что сделать, заключить бы с нами договор на всю вашу грядущую продукцию! На всю жизнь! Чтобы вся она шла к нам. Ежели желаете, мы это сейчас же сделаем. Плюнуть раз! - И Стриж плюнул в плевательницу. - Нуте-с, ставить пьесу буду я. Мы ее в два месяца обломаем. Пятнадцатого декабря покажем генеральную. Шиллер нас не задержит. С Шиллером дело гладкое...

- Виноват, - сказал я робко, - а мне говорили, что Евлампия Петровна будет ставить...

Стриж изменился в лице.

- Какая такая Евлампия Петровна? - сурово спросил он меня. - Никаких Евлампий. - Голос его стал металлическим. - Евлампия не имеет сюда отношения, она с Ильчиным "На дворе во флигеле" будет ставить. У меня твердая договоренность с Иваном Васильевичем! А ежели кто подкоп поведет, то я и в Индию напишу! Заказным, ежели уж на то пошло, - угрожающе закричал Фома Стриж, почему-то впадая в беспокойство. - Давайте сюда экземпляр, - скомандовал он мне, протягивая руку.

Я объяснил, что экземпляр еще не переписан.

- Об чем же они думали? - возмущенно оглядываясь, вскричал Стриж. - Вы у Поликсены Торопецкой в предбаннике были?

Я ничего не понял и только дико глядел на Стрижа.

- Не были? Сегодня она выходная. Завтра же захватите экземпляр, идите к ней, моим именем действуйте! Смело!

Тут очень воспитанный, картавый изящный человек появился рядом и сказал вежливо, но настойчиво:

- В репетиционный зал прошу, Фома Сергеевич! Начинаем.

И Фома перехватил портфель под мышку и скрылся, крикнув на прощанье мне:

- Завтра же в предбанник! Моим именем!

А я остался стоять и долго стоял неподвижно.

#### Глава 10. СЦЕНЫ В ПРЕДБАНИКЕ

Осенило! Осенило! В пьесе моей было тринадцать картин. Сидя у себя в комнатухе, я держал перед собою старенькие серебряные часы и вслух сам себе читал пьесу, очевидно, очень изумляя соседа за стенкой. По прочтении каждой картины я отмечал на бумажке. Когда дочитал, вышло, что чтение занимает три часа. Тут я сообразил, что во время спектакля бывают антракты, во время которых публика уходит в буфет. Прибавив время на антракты, я понял, что пьесу мою в один вечер сыграть нельзя. Ночные мучения, связанные с этим вопросом, привели к тому, что я вычеркнул одну картину. Это сократило спектакль на двадцать минут, но положения не спасло. Я вспомнил, что помимо антрактов бывают и паузы. Так, например, стоит актриса и, плача, поправляет в вазе букет. Говорить она ничего не говорит, а время-то уходит. Стало быть, бормотать текст у себя дома - одно, а произносить его со сцены - совершенно иное дело.

Надо было еще что-то выбрасывать из пьесы, а что - неизвестно. Все мне казалось важным, а кроме того, стоило наметить что-нибудь к изгнанию, как все с трудом построенное здание начинало сыпаться, и мне снилось, что падают карнизы и обваливаются балконы, и были эти сны вещие.

Тогда я изгнал одно действующее лицо вон, отчего одна картина как-то скосбочилась, потом совсем вылетела, и стало одиннадцать картин.

Дальше, как я ни ломал голову, как ни курил, ничего сократить не мог. У меня каждый день болел левый висок. Поняв, что дальше ничего не выйдет, решил дело предоставить его естественному течению.

И тогда я отправился к Поликсене Торопецкой.

"Нет, без Бомбардова мне не обойтись..." - думалось мне.

И Бомбардов весьма помог мне. Он объяснил, что и эта уже вторично попадающаяся Индия, и предбанник - это вовсе не бред и не слышалось мне. Теперь окончательно выяснилось, что во главе Независимого Театра стояли двое директоров: Иван, как я уже знал, Васильевич и Аристарх Платонович...

- Скажите, кстати, почему в кабинете, где я подписывал договор, только один портрет - Ивана Васильевича?

Тут Бомбардов, обычно очень бойкий, замялся.

- Почему?... Внизу? Гм... гм... нет... Аристарх Платонович... он... там... его портрет наверху...

Я понял, что Бомбардов еще не привык ко мне, стесняется меня. Это было ясно по этому невразумительному ответу. И я не стал расспрашивать из деликатности... "Этот мир чарует, но он полон загадок..." - думал я.

Индия? Это очень просто. Аристарх Платонович в настоящее время находился в Индии, вот Фома и собирался ему писать заказным. Что касается предбанника, то это актерская шутка. Так они прозвали (и это привилось) комнату перед верхним директорским кабинетом, в которой работала Поликсена Васильевна Торопецкая. Она - секретарь Аристарха Платоновича...

- А Августа Авдеевна?

- Ну, натурально, Ивана Васильевича.

- Ага, ага...

- Ага-то оно ага, - сказал, задумчиво поглядывая на меня, Бомбардов, - но вы, я вам это очень советую, постарайтесь произвести на Торопецкую хорошее впечатление.

- Да я не умею!

- Нет, уж вы постарайтесь!

Держа свернутый в трубку манускрипт, я поднялся в верхний отдел театра и дошел до того места, где, согласно указаниям, помещался предбанник.

Перед предбанником были какие-то сени с диваном; тут я остановился, поволновался, поправил галстук, размышляя о том, как мне произвести на Поликсену Торопецкую хорошее впечатление. И тут же мне показалось, что из предбанника слышатся рыдания. "Это мне показалось..." - подумал я и вошел в предбанник, причем сразу выяснилось, что мне ничуть не показалось. Я догадался, что дама с великолепным цветом лица и в алом джемпере за желтой конторкой и есть Поликсена Торопецкая, и рыдала именно она.

Ошеломленный и незамеченный, я остановился в дверях.

Слезы текли по щекам Торопецкой, в одной руке она комкала платок, другой стучала по конторке. Рябой, плотно сколоченный человек с зелеными петлицами, с блуждающими от ужаса и горя глазами, стоял перед конторкой, тыча руками в воздух.

- Поликсена Васильевна! - диким от отчаяния голосом восклицал человек. - Поликсена Васильевна! Не подписали еще! Завтра подпишут!

- Это подло! - вскричала Поликсена Торопецкая. - Вы поступили подло, Демьян Кузьмич! Подло!

- Поликсена Васильевна!

- Это нижние подвели интригу под Аристарха Платоновича, пользуясь тем, что он в Индии, а вы помогли им!

- Поликсена Васильевна! Матушка! - закричал страшным голосом человек. - Что вы говорите! Чтобы я под благодетеля своего...

- Ничего не хочу слушать, - закричала Торопецкая, - все ложь, презренная ложь! Вас подкупили!

Услышав это, Демьян Кузьмич крикнул:

- Поли... Поликсена, - и вдруг зарыдал сам страшным, глухим, лающим басом.

А Поликсена взмахнула рукой, чтобы треснуть по конторке, треснула и всадила себе в ладонь кончик пера, торчащего из вазочки. Тут Поликсена взвизгнула тихо, выскочила из-за конторки, повалилась в кресло и засучила ножками, обутыми в заграничные туфли со стеклянными бриллиантами на пряжках.

Демьян Кузьмич даже не вскрикнул, а как-то взвыл утробно:

- Батюшки! Доктора! - и кинулся вон, а за ним кинулся и я в сени.

Через минуту мимо меня пробежал человек в сером пиджачном костюме, с марлей и склянкой в руке и скрылся в предбаннике.

Я слышал его крик:

- Дорогая! Успокойтесь!

- Что случилось? - шепотом спросил я в сенях у Демьяна Кузьмича.

- Извольте ли видеть, - загудел Демьян Кузьмич, обращая ко мне отчаянные, слезящиеся глаза, - послали они меня в комиссию за путевками нашим в Сочи на октябрь... Ну-с, четыре путевки выдали, а племяннику Аристарха Платоновича почему-то забыли подписать в комиссии... Приходи, говорят, завтра в двенадцать... И вот, извольте ли видеть, - я интригу подвел! - И по страдальческим глазам Демьяна Кузьмича видно было, что он чист, никакой интриги не подводил и вообще интригами не занимается. Из предбанника донесся слабый крик "ай!", и Демьян Кузьмич брызнул из сеней и скрылся бесследно. Минут через десять ушел и доктор. Я некоторое время просидел в сенях на диване, пока из предбанника не начал слышаться стук машинки, тут осмелился и вошел.

Поликсена Торопецкая, напудренная и успокоившаяся, сидела за конторкой и писала на машинке. Я сделал поклон, стараясь, чтобы это был приятный и в то же время исполненный достоинства поклон, и голосом заговорил достойным и приятным, отчего тот зазвучал, к удивлению моему, сдавленно.

Объяснив, что я такой-то, а направлен сюда Фомою для того, чтобы диктовать пьесу, я получил от Поликсены приглашение садиться и подождать, что я и сделал.

Стены предбанника были обильно увешаны фотографиями, дагерротипами и картинками, среди которых царствовал большой, масляными красками писанный, портрет представительного мужчины в сюртуке и с бакенбардами по моде семидесятых годов. Я догадался, что это Аристарх Платонович, но не понял, кто эта воздушная белая девица или дама, выглядывающая из-за головы Аристарха Платоновича и держащая в руке прозрачное покрывало. Эта загадка до того меня мучила, что, выбрав пристойный момент, я кашлянул и спросил об этом.

Произошла пауза, во время которой Поликсена остановила на мне свой взор, как бы изучая меня, и наконец ответила, но как-то принужденно:

- Это - муза.

- А-а, - сказал я.

Опять застучала машинка, а я стал осматривать стены и убедился, что на каждом из снимков или карточек был изображен Аристарх Платонович в компании с другими лицами.

Так, пожелтевший старый снимок изображал Аристарха Платоновича на опушке леса. Аристарх Платонович был одет по-осеннему и городскому, в ботах, в пальто и цилиндре. А спутник его был в какой-то кацавейке, с ягдташем, с двухствольным ружьем. Лицо спутника, пенсне, седая борода показались мне знакомы.

Поликсена Торопецкая тут обнаружила замечательное свойство - в одно и то же время писать и видеть каким-то волшебным образом, что делается в комнате. Я даже вздрогнул, когда она, не дожидаясь вопроса, сказала:

- Да, да, Аристарх Платонович с Тургеневым на охоте.

Таким же образом я узнал, что двое в шубах у подъезда Славянского Базара, рядом с пароконным извозчиком - Аристарх Платонович и Островский.

Четверо за столом, а сзади фикус: Аристарх Платонович, Писемский, Григорович и Лесков.

О следующем снимке не нужно было и спрашивать: старик, босой, в длинной рубахе, засунувший руки за пояс, с бровями, как кусты, с запущенной бородой и лысый, не мог быть никем иным, кроме Льва Толстого. Аристарх Платонович стоял против него в плоской соломенной шляпе, в чесучовом летнем пиджаке.

Но следующая акварель поразила меня выше всякой меры. "Не может этого быть!" - подумал я. В бедной комнате, в кресле, сидел человек с длинейшим птичьим носом, большими и встревоженными глазами, с волосами, ниспадавшими прямыми прядями на изможденные щеки, в узких светлых брюках со штрипками, в обуви с квадратными носами, во фрачке синем. Рукопись на коленях, свеча в шандале на столе.

Молодой человек лет шестнадцати, еще без бакенбард, но с тем же надменным носом, словом, несомненный Аристарх Платонович, в курточке, стоял, опираясь руками на стол.

Я выпучил глаза на Поликсену, и та ответила сухо:

- Да, да. Гоголь читает Аристарху Платоновичу вторую часть "Мертвых душ".

Волосы шевельнулись у меня на макушке, как будто кто-то дунул сзади, и как-то само собой у меня вырвалось, невольно:

- Сколько же лет Аристарху Платоновичу?!

На неприличный вопрос я получил и соответствующий ответ, причем в голосе Поликсены послышалась какая-то вибрация:

- У таких людей, как Аристарх Платонович, лет не существует. Вас, по-видимому, очень удивляет, что за время деятельности Аристарха Платоновича многие имели возможность пользоваться его обществом?

- Помилуйте! - вскричал я, испугавшись. - Совершенно наоборот!.. Я... - но ничего больше путного не сказал, потому что подумал: "А что наоборот?! Что я плету?"

Поликсена умолкла, и я подумал: "Нет, мне не удалось произвести на нее хорошее впечатление. Увы! Это ясно!"

Тут дверь отворилась, и в предбанник оживленной походкой вошла дама, и стоило мне взглянуть на нее, как я узнал в ней Людмилу Сильвестровну Пряхину из портретной галереи. Все на даме было, как на портрете: и косынка, и тот же платочек в руке, и так же она держала его, оттопырив мизинец.

Я подумал о том, что не худо бы было и на нее попытаться произвести хорошее впечатление, благо это заодно, и отвесил вежливый поклон, но он как-то прошел незамеченным.

Вбежав, дама засмеялась переливистым смехом и воскликнула:

- Нет, нет! Неужели вы не видите! Неужели вы не видите?

- А что такое? - спросила Торопецкая.

- Да ведь солнышко, солнышко! - восклицала Людмила Сильвестровна, играя платочком и даже немного подтанцовывая. - Бабье лето! Бабье лето!

Поликсена поглядела на Людмилу Сильвестровну загадочными глазами и сказала:

- Тут анкету нужно будет заполнить.

Веселье Людмилы Сильвестровны прекратилось сразу, и лицо ее настолько изменилось, что на портрете я теперь бы ее ни в коем случае не узнал.

- Какую еще анкету? Ах, боже мой! Боже мой! - И я уж и голоса ее не узнал. - Только что я радовалась солнышку, сосредоточилась в себе, что-то только что нажила, вырастила зерно, чуть запели струны, я шла, как в храм... и вот... Ну, давайте, давайте ее сюда!

- Не нужно кричать, Людмила Сильвестровна, - тихо заметила Торопецкая.

- Я не кричу! Я не кричу! И ничего я не вижу. Мерзко напечатано. - Пряхина бегала глазами по серому анкетному листу и вдруг оттолкнула его: - Ах, пишите вы сами, пишите, я ничего не понимаю в этих делах!

Торопецкая пожала плечами, взяла перо.

- Ну, Пряхина, Пряхина, - нервно вскрикивала Людмила Сильвестровна, - ну, Людмила Сильвестровна! И все это знают, и ничего я не скрываю!

Торопецкая вписала три слова в анкету и спросила:

- Когда вы родились?

Этот вопрос произвел на Пряхину удивительное действие: на скулах у нее выступили красные пятна, и она вдруг заговорила шепотом:

- Пресвятая богоматерь! Что же это такое? Я не понимаю, кому это нужно знать, зачем? Почему? Ну, хорошо, хорошо. Я родилась в мае, в мае! Что еще нужно от меня? Что?

- Год нужен, - тихо сказала Торопецкая.

Глаза Пряхиной скосились к носу, и плечи стали вздрагивать.

- Ох, как бы я хотела, - зашептала она, - чтобы Иван Васильевич видел, как артистку истязают перед репетицией!..

- Нет, Людмила Сильвестровна, так невозможно, - отозвалась Торопецкая, - возьмите вы анкету домой и заполняйте ее сами, как хотите.

Пряхина схватила лист и с отвращением стала засовывать его в сумочку, дергая ртом.

Тут грянул телефон, и Торопецкая резко крикнула:

- Да! Нет, товарищ! Какие билеты! Никаких билетов у меня нет!.. Что? Гражданин! Вы отнимаете у меня время! Нету у меня ника... Что? Ах! - Торопецкая стала красной с лица. - Ах! Простите! Я не узнала голоса! Да, конечно! Конечно! Прямо в контроле будут оставлены. И программу я распорядюсь, чтобы оставили! А Феофил Владимирович сам не будет? Мы будем очень жалеть! Очень! Всего, всего, всего доброго!

Сконфуженная Торопецкая повесила трубку и сказала:

- Из-за вас я нахамила не тому, кому следует!

- Ах, оставьте, оставьте все это! - нервно вскричала Пряхина. - Погублено зерно, испорчен день!

- Да, - сказала Торопецкая, - заведующий труппой просил вас зайти к нему.

Легкая розоватость окрасила щеки Пряхиной, она надменно подняла брови.

- Зачем же это я понадобилась ему? Это крайне интересно!

- Костюмерша Королькова на вас пожаловалась.

- Какая такая Королькова? - воскликнула Пряхина. - Кто это? Ах да, вспомнила! Да и как не вспомнить, - тут Людмила Сильвестровна рассмеялась так, что холодок прошел у меня по спине, - на "у" и не разжимая губ, - как не вспомнить эту Королькову, которая испортила мне подол? Что же она наябедничала на меня?

- Она жалуется, что вы ее ущипнули со злости в уборной при парикмахерах, - ласково сказала Торопецкая, и при этом в ее хрустальных глазах на мгновение появилось мерцание.

Эффект, который произвели слова Торопецкой, поразил меня. Пряхина вдруг широко и криво, как у зубного врача, открыла рот, а из глаз ее двумя потоками хлынули слезы. Я съезился в кресле и почему-то поднял ноги. Торопецкая нажала кнопку звонка, и тотчас в дверь всунулась голова Демьяна Кузьмича и мгновенно исчезла.

Пряхина же приложила кулак ко лбу и закричала резким, высоким голосом:

- Меня сживают со свету! Бог господь! Бог господь! Бог господь! Да взгляни же хоть ты, пречистая мать, что со мною делают в театре! Подлец Пеликан! А Герасим Николаевич предатель! Воображаю, что он нес обо мне в Сивцевом Вражке! Но я брошусь в ноги Ивану Васильевичу! Умолю его выслушать меня!.. - Голос ее сел и треснул.

Тут дверь распахнулась, вбежал тот самый доктор. В руках у него была склянка и рюмка. Никого и ни о чем не спрашивая, он привычным жестом плеснул из склянки в рюмку мутную жидкость, но Пряхина хрипло вскричала:

- Оставьте меня! Оставьте меня! Низкие люди! - и выбежала вон.

За нею устремился доктор, воскликнув "дорогая!" - а за доктором, вынырнув откуда-то, топая в разные стороны подагрическими ногами, полетел Демьян Кузьмич.

Из раскрытых дверей неся плеск клавишей, и дальний мощный голос страстно пропел:

"...и будешь ты царицей ми... и... и..." - он пошел шире, лихо развернулся, - "ра-а..." - но двери захлопнулись, и голос погас.

- Ну-с, я освободилась, приступим, - сказала Торопецкая, мягко улыбаясь. Глава 11. Я ЗНАКОМЛЮСЬ С ТЕАТРОМ

Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видел. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, расхаживая по предбаннику взад и вперед и диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил: "Нет, погодите..." - менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит, бормотал и говорил громко, но, что бы я ни делал, из-под руки Торопецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки - хоть сейчас отдавай в типографию.

Вообще Торопецкая свое дело знала и справлялась с ним хорошо. Писали мы под аккомпанемент телефонных звонков. Первоначально они мне мешали, но потом я к ним

так привык, что они мне нравились. Поликсена расправлялась со звонящими с необыкновенной ловкостью. Она сразу кричала:

- Да? Говорите, товарищ, скорее, я занята! Да?

От такого приема товарищ, находящийся на другом конце проволоки, терялся и начинал лепетать всякий вздор и был мгновенно приводим в порядок.

Круг деятельности Торопецкой был чрезвычайно обширен. В этом я убедился по телефонным звонкам.

- Да, - говорила Торопецкая, - нет, вы не сюда звоните. Никаких билетов у меня нет.. Я застрелю тебя! (Это - мне, повторяя уже записанную фразу.)

Опять звонок.

- Все билеты уже проданы, - говорила Торопецкая, - у меня нет контрамарок... Этим ты ничего не докажешь. (Мне.)

"Теперь начинаю понимать, - думал я, - какое количество охотников ходить даром в театр в Москве. И вот странно: никто из них не пытается проехать даром в трамвае. Опять-таки никто из них не придет в магазин и не попросит, чтобы ему бесплатно отпустили коробку килек. Почему они считают, что в театре не нужно платить?"

- Да! Да! - кричала Торопецкая в телефон. - Калькутта, Пенджаб, Мадрас, Аллогодбад... Нет, адрес не даем! Да? - говорила она мне.

- Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты, - с жаром говорил я, бегая по предбаннику.

- Невесты... - повторяла Торопецкая. Машинка давала звоночки поминутно. Опять гремел телефон.

- Да! Независимый Театр! Нет у меня никаких билетов! Невесты...

- Невесты!.. - говорил я. - Ермаков бросает гитару на пол и выбегает на балкон.

- Да? Независимый! У меня никаких билетов нет!.. Балкон.

- Анна устремляется... нет, просто уходит за ним.

- Уходит... да? Ах да. Товарищ Бутович, вам будут оставлены билеты у Фили в конторе. Всего доброго.

"А н н а. Он застрелится!

Б а х т и н. Не застрелится!"

- Да! Здравствуйте. Да, с нею. Потом Андамонские острова. К сожалению, адрес дать не могу, Альберт Альбертович... Не застрелится!..

Надо отдать справедливость Поликсене Торопецкой: дело свое она знала. Она писала десятью пальцами - обеими руками; как только телефон давал сигнал, писала одной рукой, другой снимала трубку, кричала: "Калькутта не понравилась! Самочувствие хорошее..." Демьян Кузьмич входил часто, подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Торопецкая правым глазом читала их, ставила печати, левой писала на машинке: "Гармоника играет весело, но от этого..."

- Нет, погодите, погодите! - вскрикивал я. - Нет, не весело, а что-то бравурное... Или нет... погодите, - я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет. Торопецкая в это время пудрилась, говорила в телефон какой-то Мисси, что планшетки для корсета захватит в Вене Альберт Альбертович. Разные люди появлялись в предбаннике, и первоначально мне было стыдно диктовать при них, казалось, что я голый один среди одетых, но я быстро привык.

Показывался Миша Панин и каждый раз, проходя, для поощрения меня, жал мне предплечье и проходил к себе в дверь, за которой, как я уже узнал, помещался его аналитический кабинет.

Приходил гладко выбритый, с римским упадочным профилем, капризно выпяченной нижней губой, председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий.

- Миль пардон. Второй акт уже пишете? Грандиозно! - восклицал он и проходил в другую дверь, комически поднимая ноги, чтобы показать, что он старается не шуметь. Если дверь приоткрывалась, слышно было, как он говорил по телефону:

- Мне все равно... я человек без предрассудков... Это даже оригинально - приехали на бега в подштанниках. Но Индия не примет... Всем сшил одинаково - и князю, и мужу, и барону... Совершенные подштанники и по цвету и по фасону!.. А вы скажите, что нужны брюки. Мне нет дела! Пусть переделывают. А гоните вы его к чертям! Что он врет! Петя Дитрих не может такие костюмы рисовать! Он брюки нарисовал. Эскизы у меня на столе! Петя... Утонченный или неутонченный, он сам в брюках ходит! Опытный человек!

В разгар дня, когда я, хватаясь за волосы, пытался представить себе, как выразить поточнее, что вот... человек падает... роняет револьвер... кровь течет или не течет?... - вошла в предбанник молодая, скромно одетая актриса и воскликнула:

- Здравствуйте, душечка, Поликсена Васильевна! Я вам цветочков принесла!

Она расцеловала Поликсену и положила на конторку четыре желтоватые астры.

- Обо мне нет ли чего из Индии?

Поликсена ответила, что есть, и вынула из конторки пухленький конверт. Актриса взволновалась.

- "Скажите Вешняковой, - прочитала Торопецкая, - что я решил загадку роли Ксении..."

- Ах, ну, ну!.. - вскричала Вешнякова.

- "Я был с Прасковей Федоровной на берегу Ганга, и там меня осенило. Дело в том, что Вешнякова не должна выходить из средних дверей, а сбоку, там, где пианино. Пусть не забывает, что она недавно лишилась мужа и из средних дверей не решится выйти ни за что. Она идет монашеской походкой, опустив глаза долу, держа в руках букетик полевой ромашки, что типично для всякой вдовы..."

- Боже! Как верно! Как глубоко! - вскричала Вешнякова. - Верно! То-то мне было неудобно в средних дверях.

- Погодите, - продолжала Торопецкая, - тут есть еще, - и прочитала: - "А впрочем, пусть Вешнякова выходит, откуда хочет! Я приеду, тогда все станет ясно. Ганг мне не понравился, по-моему, этой реке чего-то не хватает..." Ну, это к вам не относится, - заметила Поликсена.

- Поликсена Васильевна, - заговорила Вешнякова, - напишите Аристарху Платоновичу, что я безумно, безумно ему благодарна!

- Хорошо.

- А мне нельзя ему написать самой?

- Нет, - ответила Поликсена, - он изъявил желание, чтобы ему никто не писал, кроме меня. Это его утомляло бы во время его раздумий.

- Понимаю, понимаю! - вскричала Вешнякова и, расцеловав Торопецкую, удалилась.

Вошел полный, средних лет энергичный человек и еще в дверях, сияя, воскликнул:

- Новый анекдот слышали? Ах, вы пишете?

- Ничего, у нас антракт, - сказала Торопецкая, и полный человек, видимо распираемый анекдотом, сверкая от радости, наклонился к Торопецкой. Руками он в это время сзывал народ. Явился на анекдот Миша Панин и Полторацкий и еще кто-то. Головы наклонились над конторкой. Я слышал: "И в это время муж возвращается в гостиную..." За конторкой засмеялись. Полный пошептал еще немного, после чего Мишу Панина охватил его припадок смеха "ах, ах, ах", Полторацкий вскричал: "Грандиозно!" - а полный захохотал счастливым смехом и тотчас кинулся вон, крича:

- Вася! Вася! Стой! Слышал? Новый анекдот продам!

Но ему не удалось Васе продать анекдот, потому что его вернула Торопецкая.

Оказалось, что Аристарх Платонович писал и о полном.

- "Передайте Елагину, - читала Торопецкая, - что он более всего должен бояться сыграть результат, к чему его всегда очень тянет".

Елагин изменился в лице и заглянул в письмо.

- "Скажите ему, - продолжала Торопецкая, - что в сцене вечеринки у генерала он не должен сразу здороваться с женою полковника, а предварительно обойти стол кругом, улыбаясь растерянно. У него винокурный завод, и он ни за что не поздоровается сразу, а..."

- Не понимаю! - заговорил Елагин, - простите, не понимаю, - Елагин сделал круг по комнате, как бы обходя что-то, - нет, не чувствую я этого. Мне неудобно!.. Жена полковника перед ним, а он чего-то пойдет... Не чувствую!

- Вы хотите сказать, что вы лучше понимаете эту сцену, чем Аристарх Платонович? - ледяным голосом спросила Торопецкая.

Этот вопрос смутил Елагина.

- Нет, я этого не говорю... - Он покраснел. - Но, посудите... - И он опять сделал круг по комнате.

- Я думаю, что в ножки следовало бы поклониться Аристарху Платоновичу за то, что он из Индии...

- Что это у нас все в ножки да в ножки, - вдруг пробурчал Елагин.

"Э, да он молодец", - подумал я.

- Вы лучше выслушайте, что дальше пишет Аристарх Платонович, - и прочитала: - "А впрочем, пусть он делает, как хочет. Я приеду, и пьеса станет всем ясна".

Елагин повеселел и отколол такую штуку. Он махнул рукой у щеки, потом у другой, и мне показалось, что у него на моих глазах выросли бакенбарды. Затем он стал меньше ростом, надменно раздул ноздри и сквозь зубы, при этом выщипывая волоски из воображаемых бакенбард, проговорил все, что было написано о нем в письме.

"Какой актер!" - подумал я. Я понял, что он изображает Аристарха Платоновича.

Кровь прилила к лицу Торопецкой, она тяжело задышала.

- Я попросила бы вас!..

- А впрочем, - сквозь зубы говорил Елагин, пожал плечами, своим обыкновенным голосом сказал: - Не понимаю! - и вышел. Я видел, как он в сенях сделал еще один круг в передней, недоуменно пожал плечами и скрылся.

- Ох, уж эти середняки! - заговорила Поликсена. - Ничего святого. Вы слышали, как они разговаривают?

- Кхм, - ответил я, не зная, что сказать, и, главное, не понимая, что означает слово "средняки".

К концу первого дня стало ясно, что в предбаннике пьесу писать нельзя. Поликсену освободили на два дня от ее непосредственных обязанностей, и нас с ней перевели в одну из женских уборных. Демьян Кузьмич, пыхтя, приволок туда машинку.

Бабье лето сдалось и уступило место мокрой осени. Серый свет лился в окно. Я сидел на кушеточке, отражаясь в зеркальном шкафу, а Поликсена на табуреточке. Я чувствовал себя как бы двухэтажным. В верхнем происходила кутерьма и беспорядок, который нужно было превратить в порядок. Требовательные героини пьесы вносили необыкновенную заботу в душу. Каждый требовал нужных слов, каждый старался занять первое место, оттесняя других. Править пьесу - чрезвычайно утомительное дело. Верхний этаж шумел и двигался в голове и мешал наслаждаться нижним, где царствовал установившийся, прочный покой. Со стен маленькой уборной, похожей на бонбоньерку, смотрели, улыбаясь искусственными улыбками, женщины с преувеличенно пышными губами и тенями под глазами. Эти женщины были в кринолинах или в фижмах. Меж ними сверкали зубами с фотографий мужчины с цилиндрами в руках. Один из них был в жирных эполетах. Пьяный толстый нос свисал до губы, щеки и шея разрезаны складками. Я не узнал в нем Елагина, пока Поликсена не сказала мне, кто это.

Я глядел на фотографии, трогал, вставая с кушетки, негорящие лампы, пустую пудреницу, вдыхал чуть осязаемый запах какой-то краски и ароматный запах папирос Поликсены. Здесь было тихо, и тишину эту резало только стрекотание машинки и тихие ее звоночки, да еще иногда чуть скрипел паркет. В открытую дверь было видно, как на цыпочках проходили иногда какие-то пожилые женщины, сухонького вида, пронося груды крахмальных юбок.

Изредка великое молчание этого коридора нарушалось глухими взрывами музыки откуда-то и дальними грозными криками. Теперь я знал, что на сцене, где-то глубоко за паутиной старых коридоров, спусков и лестниц, репетируют пьесу "Степан Разин".

Мы начинали писать в двенадцать часов, а в два происходил перерыв. Поликсена уходила к себе, чтобы навестить свое хозяйство, а я шел в чайный буфет.

Для того чтобы в него попасть, я должен был покинуть коридор и выйти на лестницу. Тут уже нарушалось очарование молчания. По лестнице подымались актрисы и актеры, за белыми дверями звенел телефон, телефон другой откуда-то отзывался снизу. Внизу дежурил один из вышколенных Августой Менажраки курьеров. Потом железная средневековая дверь, таинственные за нею ступени и какое-то безграничное, как мне казалось, по высоте кирпичное ущелье, торжественное, полутемное. В этом ущелье, наклоненные к стенам его, высились декорации в несколько слоев. На белых деревянных рамах их мелькали таинственные условные надписи черным: "I лев. зад", "Граф. заспин.", "Спальня III-й акт". Широкие, высокие, от времени черные ворота с врезанной в них калиткой с чудовищным замком на ней были справа, и я узнал, что они ведут на сцену. Такие же ворота были слева, и выводили они во двор, и через эти ворота рабочие из сараев подавали декорации, не помещавшиеся в ущелье. Я задерживался в ущелье всегда, чтобы предаться мечтам в одиночестве, а сделать это было легко, ибо лишь редкий путник попадался навстречу на узкой тропе между декорациями, где, чтобы разминуться, нужно было поворачиваться боком.

Сосущая с тихим змеиным свистом воздух пружина-цилиндр на железной двери выпускала меня. Звуки под ногами пропадали, я попадал на ковер, по медной львиной голове узнавал преддверие кабинета Гавриила Степановича и все по тому же солдатскому сукну шел туда, где уже мелькали и слышались люди, - в чайный буфет.

Многоведерный блестящий самовар за прилавком первым бросался в глаза, а вслед за ним маленького роста человек, пожилой, с нависшими усами, лысый и со столь печальными глазами, что жалость и тревога охватывали каждого, кто не привык еще к нему. Вздыхая тоскливо, печальный человек стоял за прилавком и глядел на груды бутербродов с кетовой икрой и с сыром брынзой. Актеры подходили к буфету, брали эту снедь, и тогда глаза буфетчика наполнялись слезами. Его не радовали ни деньги, которые платили за бутерброды, ни сознание того, что он стоит в самом лучшем месте столицы, в Независимом Театре. Ничто его не радовало, душа его, очевидно, болела при мысли, что вот съедят все, что лежит на блюде, съедят без остатка, выпьют весь гигантский самовар.

Из двух окон шел свет слезливого осеннего дня, за буфетом горела настенная лампа в тюльпане, никогда не угасая, углы тонули в вечном сумраке.

Я стеснялся незнакомых людей, сидевших за столиками, боялся подойти, хоть подойти хотелось. За столиками слышался приглушенный хохот, всюду что-то рассказывали.

Выпив стакан чаю и съев бутерброд с брынзой, я шел в другие места театра. Больше всего мне понравилось то место, которое носило название "контора".

Это место резко отличалось от всех других мест в театре, ибо это было единственное шумное место, куда, так сказать, вливалась жизнь с улицы.

Контора состояла из двух частей. Первой - узкой комнатки, в которую вели настолько замысловатые ступеньки со двора, что каждый входящий впервые в Театр непременно падал. В первой комнатенке сидели двое курьеров, Катков и Баквалин. Перед ними на столике стояли два телефона. И эти телефоны, почти никогда не умолкая, звонили.

Я очень быстро понял, что по телефонам зовут одного и того же человека и этот человек помещался в смежной комнате, на дверях которой висела надпись:

Заведующий внутренним порядком

Филипп Филиппович Тулумбасов

Большей популярности, чем у Тулумбасова, не было ни у кого в Москве и, вероятно, никогда не будет. Весь город, казалось мне, ломился по аппаратам к Тулумбасову, и то Катков, то Баквалин соединяли с Филиппом Филипповичем жаждущих говорить с ним.

Говорил ли мне кто-то или приснилось мне, что будто бы Юлий Кесарь обладал способностью делать несколько разных дел одновременно, например, читать что-либо и слушать кого-нибудь. Свидетельствую здесь, что Юлий Кесарь растерялся бы самым жалким образом, если бы его посадили на место Филиппа Филипповича.

Помимо тех двух аппаратов, которые гремели под руками Баквалина и Каткова, перед самим Филиппом Филипповичем стояло их два, а один, старинного типа, висел на стене.

Филипп Филиппович, полный блондин с приятным круглым лицом, с необыкновенно живыми глазами, на дне которых покоилась не видная никому грусть, затаенная, по-видимому, вечная, неизлечимая, сидел за барьером в углу, чрезвычайно уютном. День ли был на дворе или ночь, у Филиппа Филипповича всегда был вечер с горящей лампой под зеленым колпаком. Перед Филиппом Филипповичем на письменном столе помещалось четыре календаря, сплошь исписанные таинственными записями, вроде: "Прян. 2, парт. 4", "13 утр. 2", "Мон. 77727" и в этом роде.

Таковыми же знаками были исчерчены пять раскрытых блокнотов на столе. Над Филиппом Филипповичем высилось чучело бурого медведя, в глаза которого были вставлены электрические лампочки. Филипп Филиппович был огражден от внешнего мира барьером, и в любой час дня на этом барьере лежали животами люди в самых разнообразных одеждах. Здесь перед Филиппом Филипповичем проходила вся страна, это можно сказать с уверенностью; здесь перед ним были представители всех классов, групп, прослоек, убеждений, пола, возраста. Какие-то бедно одетые гражданки в затасканных шляпах сменялись военными с петлицами разного цвета. Военные уступали место хорошо одетым мужчинам с бровными воротниками и крахмальными воротничками. Среди крахмальных воротничков иногда мелькала ситцевая косоворотка. Кепка на буйных кудрях. Роскошная дама с горностаем на плечах. Шапка с ушами, подбитый глаз. Подросток женского пола с напудренным носиком. Человек в болотных сапогах, в чуйке, подпоясан ремнем. Еще военный, один ромб. Какой-то бритый, с забинтованной головой. Старуха с трясущейся челюстью, мертвенными глазами и почему-то говорящая со своей спутницей по-французски, а спутница в мужских калошах. Тулуп.

Те, которые не могли лечь животом на барьер, толпились сзади, изредка поднимая вверх мятые записки, изредка робко вскрикивая: "Филипп Филиппович!" Временами в толпу, осаждавшую барьер, ввинчивались женщины или мужчины без верхнего платья, а запросто в блузочках или пиджаках, и я понимал, что это актрисы и актеры Независимого Театра.

Но кто бы ни шел к барьеру, все, за редчайшими исключениями, имели вид льстивый, улыбались заискивающе. Все пришедшие просили у Филиппа Филипповича, все зависели от его ответа.

Три телефона звенели, не умолкая никогда, и иногда оглашали грохотом кабинетик сразу все три. Филиппа Филипповича это несколько не смущало. Правой рукой он брал трубку правого телефона, клал ее на плечо и прижимал щекою, в левую брал другую трубку и прижимал ее к левому уху, а освободив правую, ею брал одну из протягиваемых ему записок, начиная говорить сразу с тремя - в левый, в правый телефон, потом с посетителем, потом опять в левый, в правый, с посетителем. В правый, с посетителем, в левый, левый, правый, правый.

Сразу сбрасывал обе трубки на рычаги, и так как освобождались обе руки, то брал две записки. Отклонив одну из них, он снимал трубку с желтого телефона, слушал мгновение, говорил: "Позвоните завтра в три", - вешал трубку, посетителю говорил: "Ничего не могу". С течением времени я начал понимать, чего просили у Филиппа Филипповича. У него просили билетов.

У него просили билетов в самой разнообразной форме. Были такие, которые говорили, что приехали из Иркутска и уезжают ночью и не могут уехать, не повидав "Бесприданницы". Кто-то говорил, что он экскурсовод из Ялты. Представитель какой-то делегации. Кто-то не экскурсовод и не сибиряк и никуда не уезжает, а просто говорил: "Петухов, помните?"

Актрисы и актеры говорили: "Филя, а Филя, устрой..." Кто-то говорил: "В любую цену, цена мне безразлична..."

- Зная Ивана Васильевича двадцать восемь лет, - вдруг шамкала какая-то старуха, у которой моль выела на берете дыру, - я уверена, что он не откажет мне...

- Дам постоять, - внезапно вдруг говорил Филипп Филиппович и, не ожидая дальнейших слов ошеломленной старухи, протягивал ей какой-то кусочек бумаги.

- Нас восемь человек, - начинал какой-то крепыш, и опять-таки дальнейшие слова застревали у него в устах, ибо Филя уже говорил:

- На свободные! - и протягивал бумажку.

- Я от Арнольда Арнольдовича, - начинал какой-то молодой человек, одетый с претензией на роскошь. "Дам постоять", - мысленно подсказывал я и не угадывал.

- Ничего не могу-с, - внезапно отвечал Филя, один только раз скользнув глазом по лицу молодого человека.

- Но Арнольд...

- Не могу-с!

И молодой человек исчезал, словно проваливался сквозь землю.

- Мы с женою... - начинал полный гражданин.

- На завтра? - спрашивал Филя отрывисто и быстро.

- Слушаю.

- В кассу! - восклицал Филя, и полный протискивался вон, имея в руках клочок бумажки, а Филя в это время уже кричал в телефон: "Нет! Завтра!" - в то же время левым глазом читая поданную бумажку.

С течением времени я понял, что он руководится вовсе не внешним видом людей и, конечно, не их засаленными бумажками. Были скромно, даже бедно одетые люди, которые внезапно для меня получали два бесплатных места в четвертом ряду, и были какие-то хорошо одетые, которые уходили ни с чем. Люди приносили громадные красивые мандаты из Астрахани, Евпатории, Вологды, Ленинграда, и они не действовали или могли подействовать только через пять дней утром, а приходили иногда скромные и молчаливые люди и вовсе ничего не говорили, а только протягивали руку через барьер и тут же получали место.

Умудрившись, я понял, что передо мною человек, обладающий совершенным знанием людей. Поняв это, я почувствовал волнение и холодок под сердцем. Да, передо мною был величайший сердцеведец. Он знал людей до самой их сокровенной глубины. Он угадывал их тайные желания, ему были открыты их страсти, пороки, все знал, что было скрыто в них, но также и доброе. А главное, он знал их права. Он знал, кто и когда должен прийти в Театр, кто имел право сидеть в четвертом ряду, а кто должен был томиться в ярусе, присаживаясь на приступочке в бредовой надежде, что как-нибудь вдруг освободится для него волшебным образом местечко.

Я понял, что школа Филиппа Филипповича была школой величайшей.

Да и как же ему было не узнать людей, когда перед ним за пятнадцать лет его службы прошли десятки тысяч людей. Среди них были инженеры, хирурги, актеры, женорганизаторы, растратчики, домашние хозяйки, машинисты, учителя, меццо-сопрано, застройщики, гитаристы, карманные воры, дантисты, пожарные, девицы без определенных занятий, фотографы, плановики, летчики, пушкинисты, председатели колхозов, тайные кокотки, беговые наездники, монтеры, продавщицы универсальных магазинов, студенты, парикмахеры, конструкторы, лирики, уголовные преступники, профессора, бывшие домовладельцы, пенсионерки, сельские учителя, виноделы, виолончелисты, фокусники, разведенные жены, заведующие кафе, игроки в покер, гомеопаты, аккомпаниаторы, графоманы, билетерши консерватории, химики, дирижеры, легкоатлеты, шахматисты, лаборанты, проходимцы, бухгалтеры, шизофреники, дегустаторы, маникюрши, счетоводы, бывшие священнослужители, спекулянты, фототехники.

Зачем же надобны были бумажки Филиппу Филипповичу?

Одного взгляда и первых слов появившегося перед ним ему было достаточно, чтобы знать, на что тот имеет право, и Филипп Филиппович давал ответы, и были эти ответы всегда безошибочны.

- Я, - волнуясь, говорила дама, - вчера купила два билета на "Дона Карлоса", положила в сумочку, прихожу домой...

Но Филипп Филиппович уже жал кнопку звонка и, не глядя более на даму, говорил:

- Баквалин! Потеряны два билета... ряд?

- Одиннадц...

- В одиннадцатом ряду. Впустить. Посадить... Проверить!

- Слушаю! - гаркал Баквалин, и не было уже дамы, и кто-то уже наваливался на барьер, хрипел, что он завтра уезжает.

- Так делать не годится! - озлобленно утверждала дама, и глаза ее сверкали. - Ему уже шестнадцать! Нечего смотреть, что он в коротких штанах...

- Мы не смотрим, сударыня, кто в каких штанах, - металлически отвечал Филя, - по закону дети до пятнадцати лет не допускаются. Посиди здесь, сейчас, - говорил он в это же время интимно бритому актеру.

- Позвольте, - кричала скандальная дама, - и тут же рядом пропускают трех малюток в длинных клешах. Я жаловаться буду!

- Эти малютки, сударыня, - отвечал Филя, - были костромские лилипуты.

Наставало полное молчание. Глаза дамы потухали, Филя тогда, оскалив зубы, улыбался так, что дама вздрагивала. Люди, мнущие друг друга у барьера, злорадно хихикали.

Актер с побледневшим лицом, со страдальческими, помутневшими глазами, вдруг наваливался сбоку на барьер, шептал:

- Дикая мигрень...

Филя, не удивляясь, не оборачиваясь, протягивал руку назад, открывал настенный шкафчик, на ощупь брал коробочку, из нее вынимал пакетик, протягивал страдальцу, говорил:

- Водой запей... Слушаю вас, гражданка.

Слезы выступали у гражданки, шляпка съезжала на ухо. Горе дамы было велико. Она сморкалась в грязный платочек. Оказывается, вчера, все с того же "Дон-Карлоса", пришла домой, ан сумочки-то и нет. В сумочке же было сто семьдесят пять рублей, пудреница и носовой платок.

- Очень плохо, гражданка, - сурово говорил Филя, - деньги надо на сберкнижке держать, а не в сумочке.

Дама тарасила глаза на Филю. Она не ожидала, что к ее горю отнесутся с такой черствостью.

Но Филя тут же с грохотом выдвигал ящик стола, и через мгновение измятая сумочка с пожелтевшей металлической наядой была уже у дамы в руках. Та лепетала слова благодарности.

- Покойник прибыл, Филипп Филиппович, - докладывал Баквалин.

В ту же минуту лампа гасла, ящики с грохотом закрывались, торопливо натягивая пальто, Филя протискивался сквозь толпу и выходил. Как зачарованный, я плелся за ним. Ударившись головой об стенку на повороте лестницы, выходил во двор. У дверей конторы стоял грузовик, обвитый красной лентой, и на грузовике лежал, глядя на осеннее небо закрытыми глазами, пожарный. Каска сверкала у него в ногах, а в головах лежали еловые ветви. Филя без шапки, с торжественным лицом, стоял у грузовика и беззвучно отдавал какие-то приказания Кускову, Баквалину и Клюквину.

Грузовик дал сигнал и выехал на улицу. Тут же из подъезда театра раздавались резкие звуки тромбонов. Публика с вялым изумлением останавливалась, останавливался и грузовик. В подъезде театра виден был бородастый человек в пальто, размахивающий дирижерской палочкой. Повинуясь ей, несколько сверкавших труб громкими звуками

оглашали улицу. Потом звуки обрывались так же внезапно, как и начинались, и золотые раструбы и русая эспаньолка скрывались в подъезде. Кусков вскакивал в грузовик, трое пожарных становились по углам гроба, и, провожаемый напутственным Филиным жестом, грузовик уезжал в крематорий, а Филя возвращался в контору.

Громаднейший город пульсирует, и всюду в нем волны - прильет и отошьет. Иногда слабела без всякой видимой причины волна Филиных посетителей, и Филя позволял себе откинуться в кресле, кой с кем и пошутить, размяться.

- А меня к тебе прислали, - говорил актер какого-то другого театра.

- Нашли, кого прислать, - бузотера, - отвечал Филя, смеясь одними щеками (глаза Фили никогда не смеялись).

В Филину дверь входила очень хорошенькая дама в великолепно сшитом пальто и с чернубурой лисой на плечах. Филя приветливо улыбался даме и кричал:

- Бонжур, Мисси!

Дама радостно смеялась в ответ. Вслед за дамой в комнату входил развинченной походкой, в матросской шапке, малый лет семи с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым шоколадом, и с тремя следами от ногтей под глазом. Малый тихо икал через правильные промежутки времени. За малым входила полная и расстроенная дама.

- Фуй, Альеша! - восклицала она с немецким акцентом.

- Амалия Иванна! - тихо и угрожающе говорил малый, исподтишка показывая Амалии Ивановне кулак.

- Фуй, Альешь! - тихо говорила Амалия Ивановна.

- А, здоро'во! - восклицал Филя, протягивая малому руку. Тот, икнув, кланялся и шаркал ногой.

- Фуй, Альешь! - шептала Амалия Ивановна.

- Что же это у тебя под глазом? - спрашивал Филя.

- Я, - икая, шептал малый, повесив голову, - с Жоржем подрался...

- Фуй, Альеша, - одними губами и совершенно механически шептала Амалия Ивановна.

- Сэ доммаж[1]! - рывкал Филя и вынимал из стола шоколадку.

-----  
[1] Жаль! (франц.).  
-----

Мутные от шоколада глаза малого на минуту загорались огнем, он брал шоколадку.

- Альеша, ты съел сегодня читирнадцать, - робко шептала Амалия Ивановна.

- Не врите, Амалия Ивановна, - думая, что говорит тихо, гудел малый.

- Фуй, Альеша!..

- Филя, вы меня совсем забыли, гадкий! - тихо восклицала дама.

- Нон, мадам, энпоссибль! - рывкал Филя. - Мэ ле заффер тужур[2]!

-----  
[2] Нет, это невозможно, но все дела! (франц.).  
-----

Дама смеялась журчащим смехом, била Филю перчаткой по руке.

- Знаете что, - вдохновенно говорила дама, - Дарья моя сегодня испекла пирожки, приходите ужинать. А?

- Авек плезир[3]! - восклицал Филя и в честь дамы зажигал глаза медведя.

-----  
[3] С удовольствием! (франц.).  
-----

- Как вы меня испугали, противный Филька! - восклицала дама.

- Альеша! Погляди, какой медведь, - искусственно восторгалась Амалия Ивановна, - якобы живой!

- Пустите, - орал малый и рвался к барьеру.

- Фуй, Альеша...

- Захватите с собой Аргунина, - восклицала как бы осененная вдохновением дама.  
- Иль жу! [4]

-----  
[4] Он играет! (франц.).  
-----

- Пусть после спектакля приезжает, - говорила дама, поворачиваясь спиной к Амалии Ивановне.  
- Же транспорт люи. [5]

-----  
[5] Я привезу его (франц.).  
-----

- Ну, милый, вот и хорошо. Да, Филенька, у меня к вам просьба. Одну старушку не можете ли вы устроить куда-нибудь на "Дон-Карлоса"? А? Хоть в ярус? А, золотко?

- Портниха? - спрашивал Филя, всепонимающими глазами глядя на даму.

- Какой вы противный! - восклицала дама. - Почему непременно портниха? Она вдова профессора и теперь...

- Шьет белье, - как бы во сне говорил Филя, вписывая в блокнот:  
"Белошвей. Ми. боков. яр. 13-го".

- Как вы догадались! - хорошея, восклицала дама.

- Филипп Филиппович, вас в дирекцию к телефону, - рявкнул Баквалин.

- А я пока мужу позвоню, - говорила дама. Филя выскакивал из комнаты, а дама брала трубку, набирала номер.

- Кабинет заведующего. Ну, как у тебя? А к нам я сегодня Филю позвала пирожки есть. Ну, ничего. Ты поспи часок. Да, еще Аргунин напросился... Ну, неудобно же мне... Ну, прощай, золотко. А что у тебя голос какой-то расстроенный? Ну, целую.

Я, вдавившись в клеенчатую спинку дивана и закрывая глаза, мечтал. "О, какой мир... мир наслаждения, спокойствия..." Мне представлялась квартира этой неизвестной дамы. Мне казалось почему-то, что это огромная квартира, что в белой необъятной передней на стене висит в золотой раме картина, что в комнатах всюду блестит паркет. Что в средней рояль, что громадный ков...

Мечтания мои прервал вдруг тихий стон и утробное ворчание. Я открыл глаза.

Малый, бледный смертельной бледностью, закатив глаза под лоб, сидел на диване, растопырив ноги на полу. Дама и Амалия Ивановна кинулись к нему. Дама побледнела.

- Алеша! - вскричала дама, - что с тобой?!

- Фуй, Альеша! Что с тобой?! - воскликнула и Амалия Ивановна.

- Голова болит, - вибрирующим слабым баритоном ответил малый, и шапка его съехала на глаз. Он вдруг надул щеки и еще более побледнел.

- О, боже! - вскричала дама.

Через несколько минут во двор влетел открытый таксомотор, в котором, стоя, летел Баквалин.

Малого, вытирая ему рот платком, под руки вели из конторы.

О, чудный мир конторы! Филя! Прощайте! Меня скоро не будет. Помните же меня и вы!

Глава 12. СИВЦЕВ ВРАЖЕК

Я и не заметил, как мы с Торопецкой переписали пьесу. И не успел я подумать, что будет теперь далее, как судьба сама подсказала это.

Клюквин привез мне письмо.

1Глубочайше уважаемый Леонтий Сергеевич!..

Почему, черт возьми, им хочется, чтобы я был Леонтием Сергеевичем? Вероятно, это удобнее выговаривать, чем Сергей Леонтьевич?.. Впрочем, это неважно!

1...Вы должны читать Вашу пиэсу Ивану Васильевичу.

1Для этого Вам надлежит прибыть в Сивцев Вражек

113-го в понедельник в 12 часов дня.

1 Глубоко преданный

1 Фома Стриж.

Я взволновался чрезвычайно, понимая, что письмо это исключительной важности.

Я решил так: крахмальный воротник, галстук синий, костюм серый. Последнее решить было нетрудно, ибо серый костюм был моим единственным приличным костюмом.

Держаться вежливо, но с достоинством и, боже сохрани, без намека на угодливость.

Тринадцатое, как хорошо помню, было на другой день, и утром я повидался в театре с Бомбардовым.

Наставления его показались мне странными до чрезвычайности.

- Как пройдете большой серый дом, - говорил Бомбардов, - повернете налево, в тупичок.

Тут уж легко найдете. Ворота резные, чугунные, дом с колоннами. С улицы входа нету, а поверните за угол во дворе. Там увидите человека в тулупе, он у вас спросит: "Вы зачем?"

- а вы ему скажите только одно слово: "Назначено".

- Это пароль? - спросил я. - А если человека не будет?

- Он будет, - сказал холодно Бомбардов и продолжал: - За углом, как раз напротив человека в тулупе, вы увидите автомобиль без колес на домкрате, а возле него ведро и человека, который моет автомобиль.

- Вы сегодня там были? - спросил я в волнении.

- Я был там месяц тому назад.

- Так почему же вы знаете, что человек будет мыть автомобиль?

- Потому, что он каждый день его моет, сняв колеса.

- А когда же Иван Васильевич ездит в нем?

- Он никогда в нем и не ездит.

- Почему?

- А куда же он будет ездить?

- Ну, скажем, в театр?

- Иван Васильевич в театр приезжает два раза в год на генеральные репетиции, и тогда ему нанимают извозчика Дрыкина.

- Вот тебе на! Зачем же извозчик, если есть автомобиль?

- А если шофер умрет от разрыва сердца за рулем, а автомобиль возьмет да и въедет в окно, тогда что прикажете делать?

- Позвольте, а если лошадь понесет?

- Дрыкинская лошадь не понесет. Она только шагом ходит. Напротив же как раз человека с ведром - дверь. Войдите и подымайтесь по деревянной лестнице. Потом еще дверь. Войдите. Там увидите черный бюст Островского. А напротив беленькие колонны и черная-пречерная печка, возле которой сидит на корточках человек в валенках и топит ее.

Я рассмеялся.

- Вы уверены, что он непременно будет и непременно на корточках?

- Непременно, - сухо ответил Бомбардов, ничуть не смеясь.

- Любопытно проверить!

- Проверьте. Он спросит тревожно: "Вы куда?" А вы ответьте...

- Назначено?

- Угу. Тогда он вам скажет: "Пальтецо снимите здесь", - и вы попадете в переднюю, и тут выйдет к вам фельдшерница и спросит: "Вы зачем?" И вы ответите...

Я кивнул головой.

- Иван Васильевич вас спросит первым делом, кто был ваш отец. Он кто был?

- Вице-губернатор.

Бомбардов сморщился.

- Э... нет, это, пожалуй, не подходит. Нет, нет. Вы скажите так: служил в банке.

- Вот уж это мне не нравится. Почему я должен врать с первого же момента?

- А потому что это может его испугать, а...

Я только моргал глазами.

- ...а вам все равно, банк ли, или что другое. Потом он спросит, как вы относитесь к гомеопатии. А вы скажите, что принимали капли от желудка в прошлом году и они вам очень помогли.

Тут прогремели звонки, Бомбардов заторопился, ему нужно было идти на репетицию, и дальнейшие наставления он давал сокращенно.

- Мишку Панина вы не знаете, родились в Москве, - скороговоркой сообщал Бомбардов, - насчет Фомы скажите, что он вам не понравился. Когда будете насчет пьесы говорить, то не возражайте. Там выстрел в третьем акте, так вы его не читайте...

- Как не читать, когда он застрелился?!

Звонки повторились.

Бомбардов бросился бежать в полутьму, издали донесся его тихий крик:

- Выстрела не читайте! И насморка у вас нет!

Совершенно ошеломленный загадками Бомбардова, я минута в минуту в полдень был в тупике на Сивцевом Вражке.

Во дворе мужчины в тулупе не было, но как раз на том месте, где Бомбардов и говорил, стояла баба в платке. Она спросила:

- Вам чего? - и подозрительно поглядела на меня.

Слово "назначено" совершенно ее удовлетворило, и я повернул за угол. Точка в точку в том месте, где было указано, стояла кофейного цвета машина, но на колесах, и человек тряпкой вытирал кузов. Рядом с машиной стояло ведро и какая-то бутылка.

Следуя указаниям Бомбардова, я шел безошибочно и попал к бюсту Островского. "Э..." - подумал я, вспомнив Бомбардова: в печке весело пылали березовые дрова, но никого на корточках не было. Но не успел я усмехнуться, как старинная дубовая темно-лакированная дверь открылась, и из нее вышел старикашка с кочергой в руках и в заплатанных валенках. Увидев меня, он испугался и заморгал глазами.

- Вам что, гражданин? - спросил он.

- Назначено, - ответил я, упиваясь силой магического слова. Старикашка посветлел и махнул кочергой в направлении другой двери. Там горела старинная лампочка под потолком. Я снял пальто, под мышку взял пьесу, стукнул в дверь. Тотчас за дверью послышался звук снимаемой цепи, потом повернулся ключ в дверях и выглянула женщина в белой косынке и белом халате.

- Вам что? - спросила она.

- Назначено, - ответил я. Женщина посторонилась, пропустила меня внутрь и внимательно поглядела на меня.

- На дворе холодно? - спросила она.

- Нет, хорошая погода, бабье лето, - ответил я.

- Насморка у вас нету? - спросила женщина.

Я вздрогнул, вспомнив Бомбардова, и сказал:

- Нету, нету.

- Постучите сюда и входите, - сурово сказала женщина и скрылась. Перед тем как стукнуть в темную, окованную металлическими полосами дверь, я огляделся.

Белая печка, громадные шкафы какие-то. Пахло мятой и еще какой-то приятной травой. Стояла полная тишина, и она вдруг прервалась боем хриплым. Было двенадцать раз, и затем тревожно прокуковала кукушка за шкафом.

Я стукнул в дверь, потом нажал рукой на громадное тяжелое кольцо, дверь впустила меня в большую светлую комнату.

Я волновался, я ничего почти не разглядел, кроме дивана, на котором сидел Иван Васильевич. Он был точно такой же, как на портрете, только немножко свежее и моложе. Черные его, чуть тронутые проседью, усы были прекрасно подкручены. На груди, на золотой цепи, висел лорнет.

Иван Васильевич поразил меня очаровательностью своей улыбки.

- Очень приятно, - молвил он, чуть картавя, - прошу садиться.

И я сел в кресло.

- Ваше имя и отчество? - ласково глядя на меня, спросил Иван Васильевич.

- Сергей Леонтьевич.

- Очень приятно! Ну-с, как изволите поживать, Сергей Пафнутьевич? - И, ласково глядя на меня, Иван Васильевич побарабанил пальцами по столу, на котором лежал огрызок карандаша и стоял стакан с водой, почему-то накрытый бумажкою.

- Покорнейше благодарю вас, хорошо.

- Простуды не чувствуете?

- Нет.

Иван Васильевич как-то покряхтел и спросил:

- А здоровье вашего батюшки как?

- Мой отец умер.

- Ужасно, - ответил Иван Васильевич, - а к кому обращались? Кто лечил?

- Не могу сказать точно, но, кажется, профессор... профессор Янковский.

- Это напрасно, - отозвался Иван Васильевич, - нужно было обратиться к профессору Плетушкову, тогда бы ничего не было.

Я выразил на своем лице сожаление, что не обратились к Плетушкову.

- А еще лучше... гм... гм... гомеопаты, - продолжал Иван Васильевич, - прямо до ужаса всем помогают. - Тут он кинул беглый взгляд на стакан. - Вы верите в гомеопатию?

"Бомбардов - потрясающий человек", - подумал я и начал что-то неопределенно говорить:

- С одной стороны, конечно... Я лично... хотя многие и не верят...

- Напрасно! - сказал Иван Васильевич, - пятнадцать капель, и вы перестанете что-нибудь чувствовать. - И опять он покряхтел и продолжал: - А ваш батюшка, Сергей Панфилович, кем был?

- Сергей Леонтьевич, - ласково сказал я.

- Тысячу извинений! - воскликнул Иван Васильевич. - Так он кем был?

"Да не стану я врать!" - подумал я и сказал:

- Он служил вице-губернатором.

Это известие согнало улыбку с лица Ивана Васильевича.

- Так, так, так, - озабоченно сказал он, помолчал, побарабанил и сказал: - Ну-с, приступим.

Я развернул рукопись, кашлянул, обмер, еще раз кашлянул и начал читать.

Я прочел заглавие, потом длинный список действующих лиц и приступил к чтению первого акта:

"Огоньки вдали, двор, засыпанный снегом, дверь флигеля. Из флигеля глухо слышен "Фауст", которого играют на рояли..."

Приходилось ли вам когда-либо читать пьесу один на один кому-нибудь? Это очень трудная вещь, уверяю вас. Я изредка поднимал глаза на Ивана Васильевича, вытирал лоб платком.

Иван Васильевич сидел совершенно неподвижно и смотрел на меня в лорнет, не отрываясь. Смутило меня чрезвычайно то обстоятельство, что он ни разу не улыбнулся, хотя уже в первой картине были смешные места. Актеры очень смеялись, слыша их на чтении, а один рассмеялся до слез.

Иван же Васильевич не только не смеялся, но даже перестал крякать. И всякий раз, как я поднимал на него взор, видел одно и то же: уставившийся на меня золотой лорнет и в нем немигающие глаза. Вследствие этого мне стало казаться, что смешные эти места вовсе не смешны. Так я дошел до конца первой картины и приступил ко второй. В полной тишине слышался только мой монотонный голос, было похоже, что дьячок читает по покойнику.

Мною стала овладевать какая-то апатия и желание закрыть толстую тетрадь. Мне казалось, что Иван Васильевич грозно скажет: "Кончится ли это когда-нибудь?" Голос мой охрип, я изредка прочищал горло кашлем, читал то тенором, то низким басом, раза два вылетели неожиданные петухи, но и они никого не рассмешили - ни Ивана Васильевича, ни меня.

Некоторое облегчение внесло внезапное появление женщины в белом. Она бесшумно вошла, Иван Васильевич быстро посмотрел на часы. Женщина подала Ивану Васильевичу рюмку, Иван Васильевич выпил лекарство, запил его водою из стакана, закрыл его крышечкой и опять поглядел на часы. Женщина поклонилась Ивану Васильевичу древнерусским поклоном и надменно ушла.

- Ну-с, продолжайте, - сказал Иван Васильевич, и я опять начал читать. Далеко прокричала кукушка. Потом где-то за ширмами прозвенел телефон.

- Извините, - сказал Иван Васильевич, - это меня зовут по важнейшему делу из учреждения. - Да, - послышался его голос из-за ширм, - да... Гм... гм... Это все шайка работает. Приказываю держать все это в строжайшем секрете. Вечером у меня будет один верный человек, и мы разработаем план...

Иван Васильевич вернулся, и мы дошли до конца пятой картины. И тут в начале шестой произошло поразительное происшествие. Я уловил ухом, как где-то хлопнула дверь, послышался где-то громкий и, как мне показалось, фальшивый плач, дверь, не та, в которую я пошел, а, по-видимому, ведущая во внутренние покои, распахнулась, и в комнату влетел, надо полагать осатаневший от страха, жирный полосатый кот. Он шарахнулся мимо меня к тюлевой занавеске, вцепился в нее и полез вверх. Тюль не выдержал его тяжести, и на нем тотчас появились дыры. Продолжая раздирать занавеску, кот долез до верху и оттуда оглянулся с остервенелым видом. Иван Васильевич уронил лорнет, и в комнату вбежала Людмила Сильвестровна Пряхина. Кот, лишь только ее увидел, сделал попытку полезть еще выше, но дальше был потолок. Животное сорвалось с круглого карниза и повисло, заочнев, на занавеске.

Пряхина вбежала с закрытыми глазами, прижав кулак со скомканным и мокрым платком ко лбу, а в другой руке держа платок кружевной, сухой и чистый. Добежав до середины комнаты, она опустилась на одно колено, наклонила голову и руку протянула вперед, как бы пленник, отдающий меч победителю.

- Я не сойду с места, - прокричала визгливо Пряхина, - пока не получу защиты, мой учитель! Пеликан - предатель! Бог все видит, все!

Тут тюль хрустнул, и под котом расплылась полуаршинная дыра.

- Брысь!! - вдруг отчаянно крикнул Иван Васильевич и захлопал в ладоши.

Кот сполз с занавески, распоров ее донизу, и выскочил из комнаты, а Пряхина зарыдала громовым голосом и, закрыв глаза руками, вскричала, давась в слезах:

- Что я слышу?! Что я слышу?! Неужели мой учитель и благодетель гонит меня?! Боже, боже!! Ты видишь?!

- Оглянитесь, Людмила Сильвестровна! - отчаянно закричал Иван Васильевич, и тут еще в дверях появилась старушка, которая крикнула:

- Милочка! Назад! Чужой!..

Тут Людмила Сильвестровна открыла глаза и увидела мой серый костюм в сером кресле. Она выпучила глаза на меня, и слезы, как мне показалось, в мгновение ока высохли на ней. Она вскочила с колен, прошептала: "Господи..." - и кинулась вон. Тут же исчезла и старушка, и дверь закрылась.

Мы помолчали с Иваном Васильевичем. После долгой паузы он побарабанил пальцами по столу.

- Ну-с, как вам понравилось? - спросил он и добавил тоскливо: - Пропала занавеска к черту.

Еще помолчали.

- Вас, конечно, поражает эта сцена? - осведомился Иван Васильевич и закричал.

Закричал и я и заерзал в кресле, решительно не зная, что ответить, - сцена меня несколько не поразила. Я прекрасно понял, что это продолжение той сцены, что была в предбаннике, и что Пряхина исполнила свое обещание броситься в ноги Ивану Васильевичу.

- Это мы репетировали, - вдруг сообщил Иван Васильевич, - а вы, наверное, подумали, что это просто скандал! Каково? А?

- Изумительно, - сказал я, пряча глаза.  
- Мы любим так иногда внезапно освежить в памяти какую-нибудь сцену... гм... гм... этюды очень важны. А насчет Пеликана вы не верьте. Пеликан - доблестнейший и полезнейший человек!..

Иван Васильевич поглядел тоскливо на занавеску и сказал:

- Ну-с, продолжим!

Продолжить мы не могли, так как вошла та самая старушка, что была в дверях.

- Тетушка моя, Настасья Ивановна, - сказал Иван Васильевич. Я поклонился. Приятная старушка посмотрела на меня ласково, села и спросила:

- Как ваше здоровье?

- Благодарю вас покорнейше, - кланяясь, ответил я, - я совершенно здоров.

Помолчали, причем тетушка и Иван Васильевич поглядели на занавеску и обменялись горьким взглядом.

- Зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу?

- Леонтий Сергеевич, - отозвался Иван Васильевич, - пьесу мне принес.

- Чью пьесу? - спросила старушка, глядя на меня печальными глазами.

- Леонтий Сергеевич сам сочинил пьесу!

- А зачем? - тревожно спросила Настасья Ивановна.

- Как зачем?.. Гм... гм...

- Разве уж и пьес не стало? - ласково-укоризненно спросила Настасья Ивановна. - Какие хорошие пьесы есть. И сколько их! Начнешь играть - в двадцать лет всех не переиграешь. Зачем же вам тревожиться сочинять?

Она была так убедительна, что я не нашелся, что сказать. Но Иван Васильевич побарабанил и сказал:

- Леонтий Леонтьевич современную пьесу сочинил!

Тут старушка встревожилась.

- Мы против властей не бунтуем, - сказала она.

- Зачем же бунтовать, - поддержал ее я.

- А "Плоды просвещения" вам не нравятся? - тревожно-робко спросила Настасья Ивановна. - А ведь какая хорошая пьеса. И Милочке роль есть... - она вздохнула, поднялась. - Поклон батюшке, пожалуйста, передайте.

- Батюшка Сергея Сергеевича умер, - сообщил Иван Васильевич.

- Царство небесное, - сказала старушка вежливо, - он, чай, не знает, что вы пьесы сочиняете? А отчего умер?

- Не того доктора пригласили, - сообщил Иван Васильевич. - Леонтий Пафнутьевич мне рассказал эту горестную историю.

- А ваше-то имечко как же, я что-то не пойму, - сказала Настасья Ивановна, - то Леонтий, то Сергей! Разве уж и имена позволяют менять? У нас одна фамилия переменял. Теперь и разбери-ко, кто он такой!

- Я - Сергей Леонтьевич, - сказал я сильным голосом.

- Тысячу извинений, - воскликнул Иван Васильевич, - это я спутал!

- Ну, не буду мешать, - отозвалась старушка.

- Кота надо высесть, - сказал Иван Васильевич, - это не кот, а бандит. Нас вообще бандиты одолели, - заметил он интимно, - уж не знаем, что и делать!

Вместе с надвигающимися сумерками наступила и катастрофа. Я прочитал:

"Б а х т и н 1(Петрову) 0. Ну, прощай! Очень скоро ты придешь за мною...

П е т р о в. Что ты делаешь?!

Б а х т и н 1(стреляет себе в висок, падает, вдали послышалась 1гармони...) 0"

- Вот это напрасно! - воскликнул Иван Васильевич. - Зачем это? Это надо вычеркнуть, не медля ни секунды. Помилуйте! Зачем же стрелять?

- Но он должен кончить самоубийством, - кашлянув, ответил я.

- И очень хорошо! Пусть кончит и пусть заколется кинжалом!

- Но, видите ли, дело происходит в гражданскую войну... Кинжалы уже не применялись...

- Нет, применялись, - возразил Иван Васильевич, - мне рассказывал этот... как его... забыл... что применялись... Вы вычеркните этот выстрел!..

Я промолчал, совершая грустную ошибку, и прочитал дальше:

- "1(...моника и отдельные выстрелы. На мосту появился человек с винтовкой в руке. Луна...) 0"

- Боже мой! - воскликнул Иван Васильевич. - Выстрелы! Опять выстрелы! Что за бедствие такое! Знаете что, Лео... знаете что, вы эту сцену вычеркните, она лишняя.

- Я считал, - сказал я, стараясь говорить как можно мягче, - эту сцену главной... Тут, видите ли...

- Форменное заблуждение! - отрезал Иван Васильевич. - Эта сцена не только не главная, но ее вовсе не нужно. Зачем это? Ваш этот, как его?.. - Ну да... ну да, вот он закололся там вдаль, - Иван Васильевич махнул рукой куда-то очень далеко, - а приходит домой другой и говорит матери - Бехтеев закололся!

- Но матери нет, - сказал я, ошеломленно глядя на стакан с крышечкой.

- Нужно обязательно! Вы напишите ее. Это нетрудно. Сперва кажется, что трудно - не было матери, и вдруг она есть, - но это заблуждение, это очень легко. И вот старушка рыдает дома, а который принес известие... Назовите его Иванов...

- Но ведь Бахтин герой! У него монологи на мосту... Я полагал...

- А Иванов и скажет все его монологи!.. У вас хорошие монологи, их нужно сохранить. Иванов и скажет - вот Петя закололся и перед смертью сказал то-то, то-то и то-то... Очень сильная сцена будет.

- Но как же быть, Иван Васильевич, ведь у меня же на мосту массовая сцена... там столкнулись массы...

- А они пусть за сценой столкнутся. Мы этого видеть не должны ни в коем случае. Ужасно, когда они на сцене сталкиваются! Ваше счастье, Сергей Леонтьевич, - сказал Иван Васильевич, единственный раз попав правильно, - что вы не изволите знать некоего Мишу Панина!.. (Я похолодел.) Это, я вам скажу, удивительная личность! Мы его держим на черный день, вдруг что-нибудь случится, тут мы его и пустим в ход... Вот он нам пьесочку тоже доставил, удружил, можно сказать, - "Стенька Разин". Я приехал в театр, подъезжаю, издали еще слышу, окна были раскрыты, - грохот, свист, крики, ругань, и палят из ружей! Лошадь едва не понесла, я думал, что бунт в театре! Ужас! Оказывается, это Стриж репетирует! Я говорю Августе Авдеевне: вы, говорю, куда же смотрели? Вы, спрашиваю, хотите, чтобы меня расстреляли самого? А ну как Стриж этот спалит театр, ведь меня по головке не погладят, не правда ли-с? Августа Авдеевна, на что уж доблестная женщина, отвечает: "Казните меня, Иван Васильевич, ничего со Стрижем сделать не могу!" Этот Стриж - чума у нас в театре. Вы, если его увидите, за версту от него бегите куда глаза глядят. (Я похолодел.) Ну конечно, это все с благословения некоего Аристарха Платоныча, ну его вы не знаете, слава богу! А вы - выстрелы! За эти выстрелы знаете, что может быть? Ну-с, продолжимте.

И мы продолжили, и, когда уже стало темнеть, я осипшим голосом произнес: "Конец".

И вскоре ужас и отчаяние охватили меня, и показалось мне, что я построил домик и лишь только в него переехал, как рухнула крыша.

- Очень хорошо, - сказал Иван Васильевич по окончании чтения, - теперь вам надо начать работать над этим материалом.

Я хотел вскрикнуть:

"Как?!"

Но не вскрикнул.

И Иван Васильевич, все более входя во вкус, стал подробно рассказывать, как работать над этим материалом. Сестру, которая была в пьесе, надлежало превратить в мать. Но так как у сестры был жених, а у пятидесятипятилетней матери (Иван Васильевич тут же окрестил ее

Антониной) жениха, конечно, быть не могло, то у меня вылетала из пьесы целая роль, да, главное, которая мне очень нравилась.

Сумерки лезли в комнату. Побывала фельдшерица, и опять принял Иван Васильевич какие-то капли. Потом какая-то сморщенная старушка принесла настольную лампочку, и стал вечер.

В голове у меня начался какой-то кавардак. Стучали молоты в виске. От голода у меня что-то взмывало внутри, и перед глазами скашивалась временами комната. Но, главное, сцена на мосту улетала, а с нею улетал и мой герой.

Нет, пожалуй, самым главным было то, что совершается, по-видимому, какое-то недоразумение. Перед моими глазами всплывала вдруг афиша, на которой пьеса уже стояла, в кармане хрустел, как казалось мне, последний непроеденный червонец из числа полученных за пьесу, Фома Стриж как будто стоял за спиной и уверял, что пьесу выпустит через два месяца, а здесь было совершенно ясно, что пьесы вообще никакой нет и что ее нужно сочинить с самого начала и до конца заново. В диком хороводе передо мною танцевал Миша Панин, Евлампия, Стриж, картинки из предбанника, но не было пьесы.

Но дальше произошло совсем уже непредвиденное и даже, как мне казалось, невысказанное.

Показав (и очень хорошо показав), как закаляется Бахтин, которого Иван Васильевич прочно окрестил Бехтеевым, он вдруг закричал и повел такую речь:

- Вот вам бы какую пьесу сочинить... Колоссальные деньги можете заработать в один миг. Глубокая психологическая драма... Судьба артистки. Будто бы в некоем царстве живет артистка, и вот шайка врагов ее травит, преследует и жить не дает... А она только воссылает моления за своих врагов...

"И скандалы устраивает", - вдруг в приливе неожиданной злобы подумал я.

- Богу воссылает моления, Иван Васильевич?

Этот вопрос озадачил Ивана Васильевича. Он покряхтел и ответил:

- Богу?.. Гм... гм... Нет, ни в каком случае. Богу вы не пишете... Не богу, а... искусству, которому она глубочайше предана. А травит ее шайка злодеев, и подзуживает эту шайку некий волшебник Черномор. Вы напишите, что он в Африку уехал и передал свою власть некоей даме Икс. Ужасная женщина. Сидит за конторкой и на все способна. Сядете с ней чай пить, внимательно смотрите, а то она вам такого сахара положит в чаек...

"Батюшки, да ведь это он про Торопецкую!" - подумал я.

- ...что вы хлебнете, да ноги и протянете. Она да еще ужасный злодей Стриж... то есть я... один режиссер...

Я сидел, тупо глядя на Ивана Васильевича. Улыбка постепенно сползала с его лица, и я вдруг увидел, что глаза у него совсем не ласковые.

- Вы, как видно, упрямый человек, - сказал он весьма мрачно и пожевал губами.

- Нет, Иван Васильевич, но просто я далек от артистического мира и...

- А вы его изучите! Это очень легко. У нас в театре такие персонажи, что только любуйтесь на них... Сразу полтора акта пьесы готовы! Такие расхаживают, что так и ждешь, что он или сапоги из уборной стянет, или финский нож вам в спину всадит.

- Это ужасно, - произнес я больным голосом и тронул висок.

- Я вижу, что вас это не увлекает... Вы человек неподатливый! Впрочем, ваша пьеса тоже хорошая, - молвил Иван Васильевич, пытливо всматриваясь в меня, - теперь только стоит ее сочинить, и все будет готово...

На гнущихся ногах, со стуком в голове я выходил и с озлоблением глянул на черного Островского. Я что-то бормотал, спускаясь по скрипучей деревянной лестнице, и ставшая ненавистной пьеса оттягивала мне руки. Ветер рванул с меня шляпу при выходе во двор, и я поймал ее в луже. Бабьего лета не было и в помине. Дождь брызгал косыми струями, под ногами хлопало, мокрые листья срывались с деревьев в саду. Текло за воротник.

Шепча какие-то бессмысленные проклятия жизни, себе, я шел, глядя на фонари, тускло горящие в сетке дождя.

На углу какого-то переулочка слабо мерцал огонек в киоске. Газеты, придавленные кирпичами, мокли на прилавке, и неизвестно зачем я купил журнал "Лик Мельпомены" с нарисованным мужчиной в трико в обтяжку, с перышком в шапочке и наигранными подрисованными глазами.

Удивительно омерзительной показалась мне моя комната. Я швырнул разбухшую от воды пьесу на пол, сел к столу и придавил висок рукой, чтобы он утих. Другой рукою я отщипывал кусочки черного хлеба и жевал их.

Сняв руку с виска, я стал перелистывать отсыревший "Лик Мельпомены". Видна была какая-то девица в фижмах, мелькнул заголовок "Обратить внимание", другой - "Распоясавшийся тенор ди грация", и вдруг мелькнула моя фамилия. Я до такой степени удивился, что у меня даже прошла голова. Вот фамилия мелькнула еще и еще, а потом мелькнул и Лопе де Вега. Сомнений не было, передо мною был фельетон "Не в свои сани", и героем этого фельетона был я. Я забыл, в чем была суть фельетона. Помнится смутно его начало:

"На Парнасе было скучно.

- Чтой-то новенького никого нет, - зевая, сказал Жан-Батист Мольер.

- Да, скучновато, - отозвался Шекспир..."

Помнится, дальше открывалась дверь, и входил я - черноволосый молодой человек с толстейшей драмой под мышкой.

Надо мною смеялись, в этом не было сомнений, - смеялись злобно все. И Шекспир, и Лопе де Вега, и ехидный Мольер, спрашивающий меня, не написал ли я чего-либо вроде "Тартюфа", и Чехов, которого я по книгам принимал за деликатнейшего человека, но резвее всех издевался автор фельетона, которого звали Волкодав.

Смешно вспоминать теперь, но озлобление мое было безгранично. Я расхаживал по комнате, чувствуя себя оскорбленным безвинно, напрасно, ни за что ни про что. Дикие мечтания о том, чтобы застрелить Волкодава, перемежались недоуменными размышлениями о том, в чем же я виноват?

- Это афиша! - шептал я. - Но я разве ее сочинял? Вот тебе! - шептал я, и мне мерещилось, как, заливаясь кровью, передо мною валится Волкодав на пол.

Тут запахло табачным нагаром из трубки, дверь скрипнула, и в комнате оказался Ликоспастов в мокром плаще.

- Читал? - спросил он радостно. - Да, брат, поздравляю, продернули. Ну, что ж поделаешь - назвался груздем, полезай в кузов. Я как увидел, пошел к тебе, надо навестить друга, - и он повесил стоящий колом плащ на гвоздик.

- Кто это Волкодав? - глухо спросил я.

- А зачем тебе?

- Ах, ты знаешь?..

- Да ведь ты же с ним знаком.

- Никакого Волкодава не знаю!

- Ну как же не знаешь! Я же тебя и познакомил... Помнишь, на улице... Еще афиша эта смешная... Софокл...

Тут я вспомнил задумчивого толстяка, глядевшего на мои волосы... "Черные волосы!.."

- Что же я этому сукину сыну сделал? - спросил я запальчиво.

Ликоспастов покачал головою.

- Э, брат, нехорошо, нехо-ро-шо. Тебя, как я вижу, гордыня совершенно обуяла. Что же это, уж и слова никто про тебя не смей сказать? Без критики не проживешь.

- Какая это критика?! Он издевается... Кто он такой?

- Он драматург, - ответил Ликоспастов, - пять пьес написал. И славный малый, ты зря злишься. Ну, конечно, обидно ему немного. Всем обидно...

- Да ведь не я же сочинял афишу? Разве я виноват в том, что у них в репертуаре Софокл и Лопе де Вега... и...

- Ты все-таки не Софокл, - злобно ухмыльнувшись, сказал Ликоспастов, - я, брат, двадцать пять лет пишу, - продолжал он, - однако вот в Софоклы не попал, - он вздохнул.

Я почувствовал, что мне нечего говорить в ответ Ликоспастову. Нечего! Сказать так: "Не попал, потому что ты писал плохо, а я хорошо!" Можно ли так сказать, я вас спрашиваю? Можно?

Я молчал, а Ликоспастов продолжал:

- Конечно, в общественности эта афиша вызвала волнение. Меня уж многие расспрашивали. Огорчает афишка-то! Да я, впрочем, не спорить пришел, а, узнав про вторую беду твою, пришел утешить, потолковать с другом...

- Какую такую беду?!

- Да ведь Ивану-то Васильевичу пьеска не понравилась, - сказал Ликоспастов, и глаза его сверкнули, - читал ты, говорят, сегодня?

- Откуда это известно?!

- Слухом земля полнится, - вздохнув, сказал Ликоспастов, вообще любивший говорить пословицами и поговорками, - ты Настасью Ивановну Колдыбаеву знаешь? - И, не дождавшись моего ответа, продолжал: - Почтенная дама, тетушка Ивана Васильевича. Вся Москва ее уважает, на нее молились в свое время. Знаменитая актриса была! А у нас в доме живет портниха, Ступина Анна. Она сейчас была у Настасьи Ивановны, только что пришла. Настасья Иванна ей рассказывала. Был, говорит, сегодня у Ивана Васильевича новый какой-то, пьесу читал, черный такой, как жук (я сразу догадался, что это ты). Не понравилось, говорит, Ивану Васильевичу. Так-то. А ведь говорил я тебе тогда, помнишь, когда ты читал? Говорил, что третий акт сделан легковесно, поверхностно сделан, ты извини, я тебе пользы желаю. Не послушался ведь ты! Ну, а Иван Васильевич, он, брат, дело понимает, от него не скроешься, сразу разобрался. Ну, а раз ему не нравится, стало быть, пьеска не пойдет. Вот и выходит, что останешься ты с афишкой на руках. Смеяться будут, вот тебе и Эврипид! Да говорит Настасья Ивановна, что ты и надерзил Ивану Васильевичу? Расстроил его? Он тебе стал советы подавать, а ты в ответ, говорит Настасья Иванна, - фырк! Фырк! Ты меня прости, но это слишком! Не по чину берешь! Не такая уж, конечно, ценность (для Ивана Васильевича) твоя пьеса, чтобы фыркать...

- Пойдем в ресторанчик, - тихо сказал я, - не хочется мне дома сидеть. Не хочется.

- Понимаю! Ах, как понимаю, - воскликнул Ликоспастов. - С удовольствием. Только вот... - он беспокойно порылся в бумажнике.

- У меня есть.

Примерно через полчаса мы сидели за запятнанной скатертью у окошка ресторана "Неаполь". Приятный блондин хлопотал, уставляя столик кой-какою закускою, говорил ласково, огурцы называл "огурчики", икру - "икоркой понимаю", и так от него стало тепло и уютно, что я забыл, что на улице беспросветная мгла, и даже перестало казаться, что Ликоспастов змея.

Глава 13. Я ПОЗНАЮ ИСТИНУ

Ничего нет хуже, товарищи, чем малодушие и неуверенность в себе. Они-то и привели меня к тому, что я стал задумываться - уж не надо ли, в самом деле, сестру-невесту превратить в мать?

"Не может же, в самом деле, - рассуждал я сам с собою, - чтобы он говорил так зря? Ведь он понимает в этих делах!"

И, взяв в руки перо, я стал что-то писать на листе. Сознаюсь откровенно: получилась какая-то белиберда. Самое главное было в том, что я возненавидел непрошеную мать Антонину настолько, что, как только она появлялась на бумаге, стискивал зубы. Ну, конечно, ничего и выйти не могло. Героев своих надо любить; если этого не будет, не советую никому братья за перо - вы получите крупнейшие неприятности, так и знайте.

"Так и знайте!" - прохрипел я и, изодрав лист в клочья, дал себе слово в театр не ходить. Мучительно трудно было это исполнить. Мне же все-таки хотелось знать, чем это кончится. "Нет, пусть они меня позовут", - думал я.

Однако прошел день, прошел другой, три дня, неделя - не зовут. "Видно, прав был негодяй Ликоспастов, - думал я, - не пойдет у них пьеса. Вот тебе и афиша и "Сети Фенизы"! Ах, как мне не везет!"

Свет не без добрых людей, скажу я, подражая Ликоспастову. Как-то постучали ко мне в комнату, и вошел Бомбардов. Я обрадовался ему до того, что у меня зачесались глаза.

- Всего этого следовало ожидать, - говорил Бомбардов, сидя на подоконнике и постукивая ногой в паровое отопление, - так и вышло. Ведь я же вас предупредил?

- Но подумайте, подумайте, Петр Петрович! - восклицал я. - Как же не читать выстрел? Как же его не читать?!

- Ну, вот и прочитали! Пожалуйста, - сказал жестко Бомбардов.

- Я не расстанусь со своим героем, - сказал я злобно.

- А вы бы и не расстались...

- Позвольте!

И я, захлебываясь, рассказал Бомбардову про все: и про мать, и про Петю, который должен был завладеть дорогими монологами героя, и про кинжал, выведивший меня в особенности из себя.

- Как вам нравятся такие проекты? - запальчиво спросил я.

- Бред, - почему-то оглянувшись, ответил Бомбардов.

- Ну, так!..

- Вот и нужно было не спорить, - тихо сказал Бомбардов, - а отвечать так: очень вам благодарен, Иван Васильевич, за ваши указания, я непременно постараюсь их исполнить. Нельзя возражать, понимаете вы или нет? На Сивцев Вражке не возражают.

- То есть как это?! Никто и никогда не возражает?

- Никто и никогда, - отстукивая каждое слово, ответил Бомбардов, - не возражал, не возражает и возражать не будет.

- Что бы он ни говорил?

- Что бы ни говорил.

- А если он скажет, что мой герой должен уехать в Пензу? Или что эта мать Антонина должна повеситься? Или что она поет контральтовым голосом? Или что эта печка черного цвета? Что я должен ответить на это?

- Что печка эта черного цвета.

- Какая же она получится на сцене?

- Белая, с черным пятном.

- Что-то чудовищное, неслыханное!..

- Ничего, живем, - ответил Бомбардов.

- Позвольте! Неужели же Аристарх Платонович не может ничего ему сказать?

- Аристарх Платонович не может ему ничего сказать, так как Аристарх Платонович не разговаривает с Иваном Васильевичем с тысяча восемьсот восемьдесят пятого года.

- Как это может быть?

- Они поссорились в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году и с тех пор не встречаются, не говорят друг с другом даже по телефону.

- У меня кружится голова! Как же стоит театр?

- Стоит, как видите, и прекрасно стоит. Они разграничили сферы. Если, скажем, Иван Васильевич заинтересовался вашей пьесой, то к ней уж не подойдет Аристарх Платонович, и наоборот. Стало быть, нет той почвы, на которой они могли бы столкнуться. Это очень мудрая система.

- Господи! И, как назло, Аристарх Платонович в Индии. Если бы он был здесь, я бы к нему обратился...

- Гм, - сказал Бомбардов и поглядел в окно.

- Ведь нельзя же иметь дело с человеком, который никого не слушает!

- Нет, он слушает. Он слушает трех лиц: Гавриила Степановича, тетюшку Настасью Ивановну и Августу Авдеевну. Вот три лица на земном шаре, которые могут иметь

влияние на Ивана Васильевича. Если же кто-либо другой, кроме указанных лиц, вздумает повлиять на Ивана Васильевича, он добьется только того, что Иван Васильевич поступит наоборот.

- Но почему?!

- Он никому не доверяет.

- Но это же страшно!

- У всякого большого человека есть свои фантазии, - примирительно сказал Бомбардов.

- Хорошо. Я понял и считаю положение безнадежным. Раз для того, чтобы пьеса моя пошла на сцене, ее необходимо искорректировать так, что в ней пропадает всякий смысл, то и не нужно, чтобы она шла! Я не хочу, чтобы публика, увидев, как человек двадцатого века, имеющий в руках револьвер, закалывается кинжалом, тыкала бы в меня пальцами!

- Она бы не тыкала, потому что не было бы никакого кинжала. Ваш герой застрелился бы, как и всякий нормальный человек.

Я притих.

- Если бы вы вели себя тихо, - продолжал Бомбардов, - слушались бы советов, согласились бы и с кинжалами, и с Антониной, то не было бы ни того, ни другого. На все существуют свои пути и приемы.

- Какие же это приемы?

- Их знает Миша Панин, - гробовым голосом ответил Бомбардов.

- А теперь, значит, все погибло? - тоскуя, спросил я.

- Трудновато, трудновато, - печально ответил Бомбардов.

Прошла еще неделя, из театра не было никаких известий. Рана моя стала постепенно затягиваться, и единственно, что было нестерпимо, это посещение "Вестника пароходства" и необходимость сочинять очерки.

Но вдруг... О, это проклятое слово! Уходя навсегда, я уношу в себе неодолимый, малодушный страх перед этим словом. Я боюсь его так же, как слова "сюрприз", как слов "вас к телефону", "вам телеграмма" или "вас просят в кабинет". Я слишком хорошо знаю, что следует за этими словами.

Итак, вдруг и совершенно внезапно появился в моих дверях Демьян Кузьмич, расшаркался и вручил мне приглашение пожаловать завтра в четыре часа дня в театр.

Завтра не было дождя. Завтра был день с крепким осенним заморозком. Стуча каблуками по асфальту, волнуясь, я шел в театр.

Первое, что бросилось мне в глаза, это извозничья лошадь, раскормленная, как носорог, и сухой старичок на козлах. И, неизвестно почему, я понял мгновенно, что это Дрыкин. От этого я взволновался еще больше. Внутри театра меня поразило некоторое возбуждение, которое сказывалось во всем. У Фили в конторе никого не было, а все его посетители, то есть, вернее, наиболее упрямые из них, томились во дворе, ежась от холода и изредка поглядывая в окно. Некоторые даже постукивали в окошко, но безрезультатно. Я постучал в дверь, она приоткрылась, мелькнул в щели глаз Баквалина, я услышал голос Фили:

- Немедленно впустить!

И меня впустили. Томящиеся на дворе сделали попытку проникнуть за мною следом, но дверь закрылась. Грохнувшись с лесенки, я был поднят Баквалиным и попал в контору. Фили не сидел на своем месте, а находился в первой комнате. На Филе был новый галстук, как и сейчас помню - с крапинками; Фили был выбрит как-то необыкновенно чисто.

Он приветствовал меня как-то особенно торжественно, но с оттенком некоторой грусти. Что-то в театре совершалось, и что-то, я чувствовал, как чувствует, вероятно, бык, которого ведут на заклание, важное, в чем я, вообразите, играю главную роль.

Это почувствовалось даже в короткой фразе Фили, которую он направил тихо, но повелительно Баквалину:

- Пальто примите!

Поразили меня курьеры и капельдинеры. Ни один из них не сидел на месте, а все они находились в состоянии беспокойного движения, непосвященному человеку совершенно

непонятного. Так, Демьян Кузьмич рысцой пробежал мимо меня, обгоняя меня, и поднялся в бельэтаж бесшумно. Лишь только он скрылся из глаз, как из бельэтажа выбежал и вниз сбежал Кусков, тоже рысью и тоже пропал. В сумеречном нижнем фойе протрусил Клюквин и неизвестно зачем задернул занавеску на одном из окон, а остальные оставил открытыми и бесследно исчез. Баквалин пронесся мимо по беззвучному солдатскому сукну и исчез в чайном буфете, а из чайного буфета выбежал Пакин и скрылся в зрительном зале.

- Наверх, пожалуйста, со мною, - говорил мне Филя, вежливо провожая меня.

Мы шли наверх. Еще кто-то пролетел беззвучно мимо и поднялся в ярус. Мне стало казаться, что вокруг меня бегают тени умерших.

Когда мы безмолвно подходили уже к дверям предбанника, я увидел Демьяна Кузьмича, стоящего у дверей. Какая-то фигурка в пиджачке устремилась было к двери, но Демьян Кузьмич тихонько взвизгнул и распялся на двери крестом, и фигурка шарахнулась, и ее размыло где-то в сумерках на лестнице.

- Пропустить! - шепнул Филя и исчез. Демьян Кузьмич навалился на дверь, она пропустила меня и... еще дверь, я оказался в предбаннике, где сумерек не было. У Торопецкой на конторке горела лампа. Торопецкая не писала, а сидела, глядя в газету. Мне она кивнула головою.

А у дверей, ведущих в кабинет дирекции, стояла Менажраки в зеленом джемпере, с бриллиантовым крестиком на шее и с большой связкой блестящих ключей на кожаном лакированном поясе.

Она сказала "сюда", и я попал в ярко освещенную комнату.

Первое, что заметилось, - драгоценная мебель карельской березы с золотыми украшениями, такой же гигантский письменный стол и черный Островский в углу. Под потолком пылала люстра, на стенах пылали кенкеты. Тут мне померещилось, что из рам портретной галереи вышли портреты и надвинулись на меня. Я узнал Ивана Васильевича, сидящего на диване перед круглым столиком, на котором стояло варенье в вазочке. Узнал Княжевича, узнал по портретам еще нескольких лиц, в том числе необыкновенной представительности даму в алой блузе, в коричневом, усеянном, как звездами, пуговицами жакете, поверх которого был накинут соболий мех. Маленькая шляпка лихо сидела на седеющих волосах дамы, глаза ее сверкали под черными бровями, и сверкали пальцы, на которых были тяжелые бриллиантовые кольца.

Были, впрочем, в комнате и лица, не вошедшие в галерею. У спинки дивана стоял тот самый врач, что спасал во время припадка Милочку Пряхину, и также держал теперь в руках рюмку, а у дверей стоял с тем же выражением горя на лице буфетчик.

Большой круглый стол в стороне был покрыт невиданной по белизне скатертью. Огни играли на хрустале и фарфоре, огни мрачно отражались в нарзанных бутылках, мелькнуло что-то красное, кажется, кетовая икра. Большое общество, раскинувшись в креслах, шевельнулось при моем входе, и в ответ мне были отвешены поклоны.

- А! Лео!.. - начал было Иван Васильевич.

- Сергей Леонтьевич, - быстро вставил Княжевич.

- Да... Сергей Леонтьевич, милости просим! Присаживайтесь, покорнейше прошу! - И Иван Васильевич крепко пожал мне руку. - Не прикажете ли закусить чего-нибудь? Может быть, угодно пообедать или позавтракать? Прошу без церемоний! Мы подождем. Ермолай Иванович у нас кудесник, стоит только сказать ему и... Ермолай Иванович, у нас найдется что-нибудь пообедать?

Кудесник Ермолай Иванович в ответ на это поступил так: закатил глаза под лоб, потом вернул их на место и послал мне молящий взгляд.

- Или, может быть, какие-нибудь напитки? - продолжал угощать меня Иван Васильевич. - Нарзану? Ситро? Клюквенного морсу? Ермолай Иванович! - сурово сказал Иван Васильевич. - У нас достаточные запасы клюквы? Прошу вас строжайше проследить за этим.

Ермолай Иванович в ответ улыбнулся застенчиво и повесил голову.

- Ермолай Иванович, впрочем... гм... гм... маг. В самое отчаянное время он весь театр поголовно осетриной спас от голоду! Иначе все бы погибли до единого человека. Актеры его обожают!

Ермолай Иванович не возгордился описанным подвигом, и, напротив, какая-то мрачная тень легла на его лицо.

Ясным, твердым, звучным голосом я сообщил, что и завтракал и обедал, и отказался в категорической форме и от нарзана и клюквы.

- Тогда, может быть, пирожное? Ермолай Иванович известен на весь мир своими пирожными!..

Но я еще более звучным и сильным голосом (впоследствии Бомбардов, со слов присутствующих, изображал меня, говоря: "Ну и голос, говорят, у вас был!" - "А что?" - "Хриплый, злобный, тонкий...") отказался и от пирожных.

- Кстати, о пирожных, - вдруг заговорил бархатным басом необыкновенно изящно одетый и причесанный блондин, сидящий рядом с Иваном Васильевичем, - помнится, как-то мы собрались у Пручевина. И приезжает сюрпризом великий князь Максимилиан Петрович... Мы обохотались... Вы Пручевина ведь знаете, Иван Васильевич? Я вам потом расскажу этот комический случай.

- Я знаю Пручевина, - ответил Иван Васильевич, - величайший жулик. Он родную сестру донага раздел... Ну-с.

Тут дверь впустила еще одного человека, не входящего в галерею, - именно Мишу Панина. "Да, он застрелил..." - подумал я, глядя на лицо Миши.

- А! Почтеннейший Михаил Алексеевич! - вскричал Иван Васильевич, простирая руки вошедшему. - Милости просим! Пожалуйте в кресло. Позвольте вас познакомить, - отнесся Иван Васильевич ко мне, - это наш драгоценный Михаил Алексеевич, исполняющий у нас важнейшие функции. А это...

- Сергей Леонтьевич! - весело вставил Княжевич.

- Именно он!

Не говоря ничего о том, что мы уже знакомы, и не отказываясь от этого знакомства, мы с Мишей просто пожали руки друг другу.

- Ну-с, приступим! - объявил Иван Васильевич, и все глаза уставились на меня, отчего меня передернуло. - Кто желает высказаться? Ипполит Павлович!

Тут необыкновенно представительный и с большим вкусом одетый человек с кудрями вороного крыла вдвинул в глаз монокль и устремил на меня свой взор. Потом налил себе нарзану, выпил стакан, вытер рот шелковым платком, поколебался - выпить ли еще, выпил второй стакан и тогда заговорил.

У него был чудесный, мягкий, наигранный голос, убедительный и прямо доходящий до сердца.

- Ваш роман, Ле... Сергей Леонтьевич? Не правда ли? Ваш роман очень, очень хорош... В нем... э... как бы выразиться, - тут оратор покосился на большой стол, где стояли нарзанные бутылки, и тотчас Ермолай Иванович просеменил к нему и подал ему свежую бутылку, - исполнен психологической глубины, необыкновенно верно очерчены персонажи... Э... Что же касается описания природы, то в них вы достигли, я бы сказал, почти тургеневской высоты! - Тут нарзан вскипел в стакане, и оратор выпил третий стакан и одним движением брови выбросил монокль из глаза.

- Эти, - продолжал он, - описания южной природы... э... звездные ночи, украинские... потом шумящий Днепр... э... как выразился Гоголь... э... Чуден Днепр, как вы помните... а запахи акации... Все это сделано у вас мастерски...

Я оглянулся на Мишу Панина - тот съезжился затравленно в кресле, и глаза его были страшны.

- В особенности... э... впечатляет это описание рощи... серебристых тополей листья... вы помните?

- У меня до сих пор в глазах эти картины ночи на Днепре, когда мы ездили в поездку! - сказала контрольно дама в соболях.

- Кстати о поездке, - отозвался бас рядом с Иваном Васильевичем и посмеялся: - преппикантный случай вышел тогда с генерал-губернатором Дукасовым. Вы помните его, Иван Васильевич?

- Помню. Страшнейший обжора! - отозвался Иван Васильевич. - Но продолжайте.

- Ничего, кроме комплиментов... э... э... по адресу вашего романа сказать нельзя, но... вы меня простите... сцена имеет свои законы!

Иван Васильевич ел варенье, с удовольствием слушая речь Ипполита Павловича.

- Вам не удалось в вашей пьесе передать весь аромат вашего юга, этих знойных ночей. Роли оказались психологически недочерченными, что в особенности сказалося на роли Бахтина... - Тут оратор почему-то очень обиделся, даже попыхтел губами: - П... п... и я... э... не знаю, - оратор похлопал ребрышком монокля по тетрадке, и я узнал в ней мою пьесу, - ее играть нельзя... простите, - уж совсем обиженно закончил он, - простите!

Тут мы встретились взорами. И в моем говоривший прочитал, я полагаю, злобу и изумление.

Дело в том, что в романе моем не было ни акаций, ни серебристых тополей, ни шумящего Днепра, ни... словом, ничего этого не было.

"Он не читал! Он не читал моего романа, - гудело у меня в голове, - а между тем позволяет себе говорить о нем? Он плетет что-то про украинские ночи... Зачем они меня сюда позвали?!"

- Кто еще желает высказаться? - бодро спросил, оглядывая всех, Иван Васильевич.

Наступило натянутое молчание. Высказываться никто не пожелал. Только из угла донесся голос:

- Эхо-хо...

Я повернул голову и увидел в углу полного пожилого человека в темной блузе. Его лицо мне смутно припомнилось на портрете... Глаза его глядели мягко, лицо вообще выражало скуку, давнюю скуку. Когда я глянул, он отвел глаза.

- Вы хотите сказать, Федор Владимирович? - отнесся к нему Иван Васильевич.

- Нет, - ответил тот. Молчание приобрело странный характер.

- А может быть, вам что-нибудь угодно?... - обратился ко мне Иван Васильевич.

Вовсе не звучным, вовсе не бодрым, вовсе не ясным, я и сам это понимаю, голосом я сказал так:

- Насколько я понял, пьеса моя не подошла, и я прошу вернуть мне ее.

Эти слова вызвали почему-то волнение. Кресла задвигались, ко мне наклонился из-за спины кто-то и сказал:

- Нет, зачем же так говорить? Виноват!

Иван Васильевич посмотрел на варенье, а потом изумленно на окружающих.

- Гм... гм... - и он забарабанил пальцами, - мы дружественно говорим, что играть вашу пьесу - это значит причинить вам ужасный вред! Ужасающий вред. В особенности если за нее примется Фома Стриж. Вы сами жизни будете не рады и нас проклянете...

После паузы я сказал:

- В таком случае я прошу вернуть ее мне.

И тут я отчетливо прочел в глазах Иван Васильевича злобу.

- У нас договорчик, - вдруг раздался голос откуда-то, и тут из-за спины врача показалось лицо Гавриила Степановича.

- Но ведь ваш театр ее не хочет играть, зачем же вам она?

Тут ко мне придвинулось лицо с очень живыми глазами в пенсне, высокий тенорок сказал:

- Неужели же вы ее понесете в театр Шлиппе? Ну, что они там наиграют? Ну, будут ходить по сцене бойкие офицерики. Кому это нужно?

- На основании существующих законоположений и разъяснений ее нельзя давать в театр Шлиппе, у нас договорчик! - сказал Гавриил Степанович и вышел из-за спины врача.

"Что происходит здесь? Чего они хотят?" - подумал я и страшное удушье вдруг ощутил в первый раз в жизни.

- Простите, - глухо сказал я, - я не понимаю. Вы играть ее не хотите, а между тем говорите, что в другой театр я ее отдать не могу. Как же быть?

Слова эти произвели удивительное действие. Дама в соболях обменялась оскорбленным взглядом с басом на диване. Но страшнее всех было лицо Ивана Васильевича. Улыбка слетела с него, в упор на меня смотрели злые огненные глаза.

- Мы хотим спасти вас от страшного вреда! - сказал Иван Васильевич. - От вернейшей опасности, карающей вас за углом.

Опять наступило молчание и стало настолько томительным, что вынести его больше уж было невозможно.

Поковыряв немного обивку на кресле пальцем, я встал и раскланялся. Мне ответили поклоном все, кроме Ивана Васильевича, глядевшего на меня с изумлением. Боком я добрался до двери, споткнулся, вышел, поклонился Торопецкой, которая одним глазом глядела в "Известия", а другим на меня, Августе Менажраки, принявшей этот поклон сурово, и вышел.

Театр тонул в сумерках. В чайном буфете появились белые пятна - столики накрывали к спектаклю.

Дверь в зрительный зал была открыта, я задержался на несколько мгновений и глянул. Сцена была раскрыта вся, вплоть до кирпичной дальней стены. Сверху спускалась зеленая беседка, увитая плющом, сбоку в громадные открытые ворота рабочие, как муравьи, вносили на сцену толстые белые колонны.

Через минуту меня уже не было в театре.

Ввиду того, что у Бомбардова не было телефона, я послал ему в тот же вечер телеграмму такого содержания:

"Приходите поминки. Без вас сойду с ума, не понимаю".

Эту телеграмму у меня не хотели принимать и приняли лишь после того, как я пригрозил пожаловаться в "Вестник пароходства".

Вечером на другой день мы сидели с Бомбардовым за накрытым столом. Упомянутая мною раньше жена мастера внесла блины.

Бомбардову понравилась моя мысль устроить поминки, понравилась и комната, приведенная в полный порядок.

- Я теперь успокоился, - сказал я после того, как мой гость утолил первый голод, - и желаю только одного - знать, что это было? Меня просто терзает любопытство. Таких удивительных вещей я еще никогда не видал. Бомбардов в ответ похвалил блины, оглядел комнату и сказал:

- Вам бы нужно жениться, Сергей Леонтьевич. Жениться на какой-нибудь симпатичной, нежной женщине или девице.

- Этот разговор уже описан Гоголем, - ответил я, - не будем же повторяться. Скажите мне, что это было?

Бомбардов пожал плечами.

- Ничего особенного не было, было совещание Ивана Васильевича со старейшинами театра.

- Так-с. Кто эта дама в соболях?

- Маргарита Петровна Таврическая, артистка нашего театра, входящая в группу старейших, или основоположников. Известна тем, что покойный Островский в тысяча восемьсот восьмидесятом году, поглядев на игру Маргариты Петровны - она дебютировала, - сказал: "Очень хорошо".

Далее я узнал у моего собеседника, что в комнате были исключительно основоположники, которые были созваны экстреннейшим образом на заседание по поводу моей пьесы, и что Дрыкина известили накануне, и что он долго чистил коня и мыл пролетку карболкой.

Спросивши о рассказчике про великого князя Максимилиана Петровича и обжору генерал-губернатора, узнал, что это самый молодой из всех основоположников.

Нужно сказать, что ответы Бомбардова отличались явной сдержанностью и осторожностью. Заметив это, я постарался нажать своими вопросами так, чтобы добиться все-таки от моего гостя не одних формальных и сухих ответов, вроде "родился тогда-то, имя и отчество такое-то", а все-таки кое-каких характеристик. Меня до глубины души интересовали люди, собравшиеся тогда в комнате дирекции. Из их характеристик должно было сплестись, как я полагал, объяснение их поведения на этом загадочном заседании.

- Так этот Горностаев (рассказчик про генерал-губернатора) актер хороший? - спросил я, наливая вина Бомбардову.

- Угу-у, - ответил Бомбардов.

- Нет, "угу-у" - это мало. Ну вот, например, насчет Маргариты Петровны известно, что Островский сказал "очень хорошо". Вот уж и какая-то зазубринка! А то что ж "угу-у". Может, Горностаев чем-нибудь себя прославил?

Бомбардов кинул исподтишка на меня настороженный взгляд, помямлил как-то...

- Что бы вам по этому поводу сказать? Гм, гм... - И, осушив свой стакан, сказал: - Да вот недавно совершенно Горностаев поразил всех тем, что с ним чудо произошло... - И тут начал поливать блин маслом и так долго поливал, что я воскликнул:

- Ради бога, не тяните!

- Прекрасное вино напареули, - все-таки вклеил Бомбардов, испытывая мое терпение, и продолжал так: - Было это дельце четыре года тому назад. Раннюю весною, и, как сейчас помню, был тогда Герасим Николаевич как-то особенно весел и возбужден. Не к добру, видно, веселился человек! Планы какие-то строил, порывался куда-то, даже помолодел. А он, надо вам сказать, театр любит страстно. Помню, все говорил тогда: "Эх, отстал я несколько, раньше я, бывало, следил за театральной жизнью Запада, каждый год ездил, бывало, за границу, ну, и натурально, был в курсе всего, что делается в театре в Германии, во Франции! Да что Франция, даже, вообразите, в Америку с целью изучения театральных достижений заглядывал". - "Так вы, - говорят ему, - подайте заявление да и съездите". Усмехнулся мягкой такой улыбкой. "Ни в коем случае, отвечает, не такое теперь время, чтобы заявления подавать! Неужели я допущу, чтобы из-за меня государство тратило ценную валюту? Лучше пусть инженер какой-нибудь съездит или хозяйственник!"

Крепкий, настоящий человек! Нуте-с... (Бомбардов поглядел сквозь вино на свет лампочки, еще раз похвалил вино) нуте-с, проходит месяц, настала уже и настоящая весна. Тут и разыгралась беда. Приходит раз Герасим Николаевич к Августе Авдеевне в кабинет. Молчит. Та посмотрела на него, видит, что на нем лица нет, бледен как салфетка, в глазах траур. "Что с вами, Герасим Николаевич?" - "Ничего, отвечает, не обращайтесь внимания". Подошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу, стал насвистывать что-то очень печальное и знакомое до ужаса. Вслушалась, оказалось - траурный марш Шопена. Не выдержала, сердце у нее по человечеству заныло, пристала: "Что такое? В чем дело?"

Повернулся к ней, криво усмехнулся и говорит: "Поклянитесь, что никому не скажете!" Та, натурально, немедленно поклялась. "Я сейчас был у доктора, и он нашел, что у меня саркома легкого". Повернулся и вышел.

- Да, это штука... - тихо сказал я, и на душе у меня стало скверно.

- Что говорить! - подтвердил Бомбардов. - Ну-с, Августа Авдеевна немедленно под клятвой это Гавриилу Степановичу, тот Ипполиту Павловичу, тот жене, жена Евлампии Петровне; короче говоря, через два часа даже подмастерья в портновском цехе знали, что Герасима Николаевича художественная деятельность кончилась и что венок хоть сейчас можно заказывать. Актеры в чайном буфете через три часа уже толковали, кому передадут роли Герасима Николаевича.

Августа Авдеевна тем временем за трубку и к Ивану Васильевичу. Ровно через три дня звонит Августа Авдеевна к Герасиму Николаевичу и говорит: "Сейчас приеду к вам". И,

точно, приезжает. Герасим Николаевич лежит на диване в китайском халате, как смерть сама бледен, но горд и спокоен.

Августа Авдеевна - женщина деловая и прямо на стол красную книжку и чек - бряк!

Герасим Николаевич вздрогнул и сказал:

- Вы недобрые люди. Ведь я не хотел этого! Какой смысл умирать на чужбине?

Августа Авдеевна стойкая женщина и настоящий секретарь! Слова умирающего она пропустила мимо ушей и крикнула:

- Фаддей!

А Фаддей верный, преданный слуга Герасима Николаевича.

И тотчас Фаддей появился.

- Поезд идет через два часа. Плед Герасиму Николаевичу! Белье. Чемодан. Несессер. Машина будет через сорок минут.

Обреченный только вздохнул, махнул рукой.

Есть где-то, не то в Швейцарии на границе, не то не в Швейцарии, словом, в Альпах... - Бомбардов потер лоб, - словом, неважно. На высоте трех тысяч метров над уровнем моря высокогорная лечебница мировой знаменитости профессора Кли. Ездят туда только в отчаянных случаях. Или пан, или пропал. Хуже не будет, а, бывает, случались чудеса. На открытой веранде, в виду снеговых вершин, кладет Кли таких безнадежных, делает им какие-то впрыскивания саркоматина, заставляет дышать кислородом, и, случилось, Кли на год удавалось оттянуть смерть.

Через пятьдесят минут провезли Герасима Николаевича мимо театра по его желанию, и Демьян Кузьмич рассказывал потом, что видел, как тот поднял руку и благословил театр, а потом машина ушла на Белорусско-Балтийский вокзал.

Тут лето наскочило, и пронесся слух, что Герасим Николаевич скончался. Ну, посудачили, посочувствовали... Однако лето... Актеры уж были на отлете, у них поездка начиналась... Так что уж очень большой скорби как-то не было... Ждали, что вот привезут тело Герасима Николаевича... Актеры тем временем разъехались, сезон кончился. А надо вам сказать, что наш Плисов...

- Это тот симпатичный с усами? - спросил я. - Который в галерее?

- Именно он, - подтвердил Бомбардов и продолжал: - Так вот он получил командировку в Париж для изучения театральной машинерии. Немедленно, натурально, получил документы и отчалил. Плисов, надо вам сказать, работяга потрясающий и в свой поворотный круг буквально влюблен. Завидовали ему чрезвычайно. Каждому лестно в Париж съездить... "Вот счастливец!" - все говорили. Счастливец он или несчастливец, но взял документики и покатыл в Париж, как раз в то время, как пришло известие о кончине Герасима Николаевича. Плисов личность особенная и ухитрился, пробыв в Париже, не увидеть даже Эйфелевой башни. Энтузиаст. Все время просидел в трюмах под сценами, все изучил, что надобно, купил фонари, все честно исполнил. Наконец нужно уж ему и уезжать. Тут решил пройтись по Парижу, хоть глянуть-то на него перед возвращением на родину. Ходил, ходил, ездил в автобусах, объясняясь по преимуществу мычанием, и, наконец, проголодался, как зверь, заехал куда-то, черт его знает куда. "Дай, думает, зайду в ресторанчик, перекушу". Видит - огни. Чувствует, что где-то в центре, все, по-видимому, недорого. Входит. Действительно, ресторанчик средней руки. Смотрит - и как стоял, так и застыл.

Видит: за столиком, в смокинге, в петлице бутоньерка, сидит покойный Герасим Николаевич, и с ним какие-то две француженки, причем последние прямо от хохоту давятся. А перед ними на столе в вазе со льдом бутылка шампанского и кой-что из фруктов.

Плисов прямо покачнулся у притолоки. "Не может быть! - думает, - мне показалось. Не может Герасим Николаевич быть здесь и хохотать. Он может быть только в одном месте, на Новодевичьем!"

Стоит, вытаращив глаза на этого, жутко похожего на покойника, а тот поднимается, причем лицо его выразило сперва какую-то как бы тревогу, Плисову даже показалось, что он как бы недоволен его появлением, но потом выяснилось, что Герасим Николаевич просто изумился. И тут же шепнул Герасим Николаевич, а это был именно он, что-то своим французенкам, и те исчезли внезапно.

Очнулся Плисов лишь тогда, когда Герасим Николаевич облобызал его. И тут же все разъяснилось. Плисов только вскрикивал: "Да ну!" - слушая Герасима Николаевича. Ну и действительно, чудеса.

Привезли Герасима Николаевича в Альпы эти самые в таком виде, что Кли покачал головой и сказал только: "Гм..." Ну, положили Герасима Николаевича на эту веранду. Впрыснули этот препарат. Кислородную подушку. Вначале больному стало хуже, и хуже настолько, что, как потом признались Герасиму Николаевичу, у Кли насчет завтрашнего дня появились самые неприятные предположения. Ибо сердце сдало. Однако завтрашний день прошел благополучно. Повторили впрыскивание. Послезавтрашний день еще лучше. А дальше - прямо не верится. Герасим Николаевич сел на кушетке, а потом говорит: "Дай-ко я пройду". Не только у ассистентов, но у самого Кли глаза стали круглые. Коротко говоря, через день еще Герасим Николаевич ходил по веранде, лицо порозовело, появился аппетит... температура 36,8, пульс нормальный, болей нету и следа.

Герасим Николаевич рассказывал, что на него ходили смотреть из окрестных селений. Врачи приезжали из городов, Кли доклад делал, кричал, что такие случаи бывают раз в тысячу лет. Хотели портрет Герасима Николаевича поместить в медицинских журналах, но он наотрез отказался - "не люблю шумихи!".

Кли же тем временем говорит Герасиму Николаевичу, что делать ему больше в Альпах нечего и что он посылает Герасима Николаевича в Париж для того, чтобы он там отдохнул от пережитых потрясений. Ну вот Герасим Николаевич и оказался в Париже. А французенки, - объяснил Герасим Николаевич, - это двое молодых местных парижских начинающих врачей, которые собирались о нем писать статью. Вот-с какие дела.

- Да, это поразительно! - заметил я. - Я все-таки не понимаю, как же это он выкрутился!

- В этом-то и есть чудо, - ответил Бомбардов, - оказывается, что под влиянием первого же впрыскивания саркома Герасима Николаевича начала рассасываться и рассосалась!

Я всплеснул руками.

- Скажите! - вскричал я. - Ведь этого никогда не бывает!

- Раз в тысячу лет бывает, - отозвался Бомбардов и продолжал: - Но погодите, это не все. Осенью приехал Герасим Николаевич в новом костюме, поправившийся, загоревший - его парижские врачи, после Парижа, еще на океан послали. В чайном буфете прямо гроздьями наши висели на Герасиме Николаевиче, слушая его рассказы про океан, Париж, альпийских врачей и прочее такое. Ну, пошел сезон как обычно, Герасим Николаевич играл, и пристойно играл, и тянулось так до марта... А в марте вдруг приходит Герасим Николаевич на репетицию "Леди Макбет" с палочкой. "Что такое?" - "Ничего, колет почему-то в пояснице". Ну, колет и колет. Поколет - перестанет. Однако же не перестает. Дальше - больше... синим светом - не помогает... Бессонница, спать на спине не может. Начал худеть на глазах. Пантопон. Не помогает! Ну, к доктору, конечно. И вообразите...

Бомбардов сделал умело паузу и такие глаза, что холод прошел у меня по спине.

- И вообразите... доктор посмотрел его, помял, помигал... Герасим Николаевич говорит ему: "Доктор, не тяните, я не баба, видел виды... говорите - она?" Она!! - рывкнул хрипло Бомбардов и залпом выпил стакан. - Саркома возобновилась! Бросилась в правую почку, начала пожирать Герасима Николаевича! Натурально - сенсация. Репетиции к черту, Герасима Николаевича - домой. Ну, на сей раз уж было легче. Теперь уж есть надежда. Опять в три дня паспорт, билет, в Альпы, к Кли. Тот встретил Герасима Николаевича, как родного. Еще бы! Рекламу сделала саркома Герасима Николаевича профессору мировую! Опять на веранду, опять впрыскивание - и та же история! Через сутки боль утихла, через двое Герасим Николаевич ходит по веранде, а через три просится у Кли - нельзя ли ему в

теннис поиграть! Что в лечебнице творится, уму непостижимо. Больные едут к Кли эшелонами! Рядом второй, как рассказывал Герасим Николаевич, корпус начали пристраивать. Кли, на что сдержанный иностранец, расцеловался с Герасимом Николаевичем троекратно и послал его, как и полагается, отдыхать, только на сей раз в Ниццу, потом в Париж, а потом в Сицилию.

И опять приехал осенью Герасим Николаевич - мы как раз вернулись из поездки в Донбасс - свежий, бодрый, здоровый, только костюм другой, в прошлую осень был шоколадный, а теперь серый в мелкую клетку. Дня три рассказывал о Сицилии и о том, как буржуа в рулетку играют в Монте-Карло. Говорит, что отвратительное зрелище. Опять сезон, и опять к весне та же история, но только в другом месте. Рецидив, но только под левым коленом. Опять Кли, потом на Мадейру, потом в заключение - Париж.

Но теперь уж волнений по поводу вспышек саркомы почти не было. Всем стало понятно, что Кли нашел способ спасения. Оказалось, что с каждым годом под влиянием впрыскиваний устойчивость саркомы понижается, и Кли надеется и даже уверен в том, что еще три-четыре сезона, и организм Герасима Николаевича станет сам справляться с попытками саркомы дать где-нибудь вспышку. И действительно, в позапрошлом году она сказала только легкими болями в гайморовой полости и тотчас у Кли пропала. Но теперь уж за Герасимом Николаевичем строжайшее и неослабное наблюдение, и есть боли или нет, но уж в апреле его отправляют.

- Чудо! - сказал я, вздохнув почему-то. Меж тем пир наш шел горой, как говорится. Затуманились головы от напареули, пошла беседа и живее и, главное, откровеннее. "Ты очень интересный, наблюдательный, злой человек, - думал я о Бомбардове, - и нравишься мне чрезвычайно, но ты хитер и скрытен, и таким сделала тебя твоя жизнь в театре..."

- Не будьте таким! - вдруг попросил я моего гостя. - Скажите мне, ведь сознаюсь вам - мне тяжело... Неужели моя пьеса так плоха?

- Ваша пьеса, - сказал Бомбардов, - хорошая пьеса. И точка.

- Почему же, почему же произошло все это странное и страшное для меня в кабинете? Пьеса не понравилась им?

- Нет, - сказал Бомбардов твердым голосом, - наоборот. Все произошло именно потому, что она им понравилась. И понравилась чрезвычайно.

- Но Ипполит Павлович...

- Больше всего она понравилась именно Ипполиту Павловичу, - тихо, но веско, отдельно проговорил Бомбардов, и я уловил, так показалось мне, у него в глазах сочувствие.

- С ума можно сойти... - прошептал я.

- Нет, не надо сходить... Просто вы не знаете, что такое театр. Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего...

- Говорите! Говорите! - вскричал я и взялся за голову.

- Пьеса понравилась до того, что вызвала даже панику, - начал говорить Бомбардов, - отчего все и стряслось. Лишь только с нею познакомились, а старейшины узнали про нее, тотчас наметили даже распределение ролей. На Бахтина назначили Ипполита Павловича. Петрова задумали дать Валентину Конрадовичу.

- Какому... Вал... это, который...

- Ну да... он.

- Но позвольте! - даже не закричал, а заорал я. - Ведь...

- Ну да, ну да... - проговорил, очевидно, понимавший меня с полуслова Бомбардов, - Ипполиту Павловичу - шестьдесят один год, Валентину Конрадовичу - шестьдесят два года... Самому старшему вашему герою Бахтину сколько лет?

- Двадцать восемь!

- Вот, вот. Нуте-с, как только старейшинам разослали экземпляры пьесы, то и передать вам нельзя, что произошло. Не бывало у нас этого в театре за все пятьдесят лет его существования. Они просто все обиделись.

- На кого? На распределителя ролей?

- Нет. На автора.

Мне оставалось только выпучить глаза, что я и сделал, а Бомбардов продолжал:

- На автора. В самом деле - группа старейшин рассуждала так: мы ищем, жаждем ролей, мы, основоположники, рады были бы показать все наше мастерство в современной пьесе и... здравствуйте пожалуйста! Приходит серый костюм и приносит пьесу, в которой действуют мальчишки! Значит, играть мы ее не можем?! Это что же, он в шутку ее принес?! Самому младшему из основоположников пятьдесят семь лет - Герасиму Николаевичу.

- Я вовсе не претендую, чтобы мою пьесу играли основоположники! - заорал я. - Пусть ее играют молодые!

- Ишь ты как ловко! - воскликнул Бомбардов и сделал сатанинское лицо. - Пусть, стало быть, Аргунин, Галин, Елагин, Благосветлов, Стренковский выходят, кланяются - браво! Бис! Ура! Смотрите, люди добрые, как мы замечательно играем! А основоположники, значит, будут сидеть и растерянно улыбаться - значит, мол, мы не нужны уже? Значит, нас уж, может, в богадельню? Хи, хи, хи! Ловко! Ловко!

- Все понятно! - стараясь кричать тоже сатанинским голосом, закричал я. - Все понятно!

- Что ж тут не понять! - отрезал Бомбардов. - Ведь Иван Васильевич сказал же вам, что нужно невесту переделать в мать, тогда играла бы Маргарита Павловна или Настасья Ивановна...

- Настасья Ивановна?!

- Вы не театральный человек, - с оскорбительной улыбкой отозвался Бомбардов, но за что оскорблял, не объяснил.

- Одно только скажите, - пылко заговорил я, - кого они хотели назначить на роль Анны?

- Естественно, Людмилу Сильвестровну Пряхину.

Тут почему-то бешенство овладело мною.

- Что-о? Что такое?! Людмилу Сильвестровну?! - Я вскочил из-за стола. - Да вы смеетесь!

- А что такое? - с веселым любопытством спросил Бомбардов.

- Сколько ей лет?

- А вот этого, извините, никто не знает.

- Анне девятнадцать лет! Девятнадцать! Понимаете? Но это даже не самое главное. А главное то, что она не может играть!

- Анну-то?

- Не Анну, а вообще ничего не может!

- Позвольте!

- Нет, позвольте! Актриса, которая хотела изобразить плач угнетенного и обиженного человека и изобразила его так, что кот спятил и изодрал занавеску, играть ничего не может.

- Кот - болван, - наслаждаясь моим бешенством, отозвался Бомбардов, - у него ожирение сердца, миокардит и неврастения. Ведь он же целыми днями сидит на постели, людей не видит, ну, естественно, испугался.

- Кот - неврастеник, я согласен! - кричал я. - Но у него правильное чутье, и он прекрасно понимает сцену. Он услышал фальшь! Понимаете, омерзительную фальшь. Он был шокирован! Вообще, что означала вся эта петрушка?

- Накладка вышла, - пояснил Бомбардов.

- Что значит это слово?

- Накладкой на нашем языке называется всякая путаница, которая происходит на сцене. Актер вдруг в тексте ошибается, или занавес не вовремя закроют, или...

- Понял, понял...

- В данном случае наложили двое - и Августа Авдеевна и Настасья Ивановна. Первая, пуская вас к Ивану Васильевичу, не предупредила Настасью Ивановну о том, что вы будете. А вторая, перед тем как пускать Людмилу Сильвестровну на выход, не проверила, есть ли кто у Ивана Васильевича. Хотя, конечно, Августа Авдеевна меньше виновата - Настасья Ивановна за грибами ездила в магазин...

- Понятно, понятно, - говорил я, стараясь выдавить из себя мефистофельский смех, - все решительно понятно! Так вот, не может ваша Людмила Сильвестровна играть.

- Позвольте! Москвичи утверждают, что она играла прекрасно в свое время...

- Врут ваши москвичи! - вскричал я. - Она изображает плач и горе, а глаза у нее злятся! Она подтанцовывает и кричит "бабье лето!", а глаза у нее беспокойные! Она смеется, а у слушателя мурашки в спине, как будто ему нарзану за рубашку налили! Она не актриса!

- Однако! Она тридцать лет изучает знаменитую теорию Ивана Васильевича о воплощении...

- Не знаю этой теории! По-моему, теория ей не помогла!

- Вы, может быть, скажете, что и Иван Васильевич не актер?

- А, нет! Нет! Лишь только он показал, как Бахтин закололся, я ахнул: у него глаза мертвые сделались! Он упал на диван, и я увидел зарезавшегося. Сколько можно судить по этой краткой сцене, а судить можно, как можно великого певца узнать по одной фразе, спетой им, он величайшее явление на сцене! Я только решительно не могу понять, что он говорит по содержанию пьесы.

- Все мудро говорит!

- Кинжал!!

- Поймите, что лишь только вы сели и открыли тетрадь, он уже перестал слушать вас. Да, да. Он соображал о том, как распределить роли, как сделать так, чтобы разместить основоположников, как сделать так, чтобы они могли разыграть вашу пьесу без ущерба для себя... А вы выстрелы там какие-то читаете. Я служу в нашем театре десять лет, и мне говорили, что единственный раз выстрелили в нашем театре в тысяча девятьсот первом году, и то крайне неудачно. В пьесе этого... вот забыл... известный автор... ну, неважно... словом, двое нервных героев ругались между собой из-за наследства, ругались, ругались, пока один не хлопнул в другого из револьвера, и то мимо... Ну, пока шли простые репетиции, помощник изображал выстрел, хлопая в ладоши, а на генеральной выстрелил в кулисе по-всамделишному. Ну, Настасье Ивановне и сделалось дурно - она ни разу в жизни не слыхала выстрела, а Людмила Сильвестровна закатила истерику. И с тех пор выстрелы прекратились. В пьесе сделали изменение, герой не стрелял, а замахивался лейкой и кричал "убью тебя, негодяя!" и топал ногами, отчего, по мнению Ивана Васильевича, пьеса только выиграла. Автор бешено обиделся на театр и три года не разговаривал с директорами, но Иван Васильевич остался тверд...

По мере того, как текла хмельная ночь, порывы мои ослабевали, и я уже не шумно возражал Бомбардову, а больше задавал вопросы. Во рту горел огонь после соленой красной икры и семги, мы утоляли жажду чаем. Комната, как молоком, наполнилась дымом, из открытой форточки била струя морозного воздуха, но она не освежала, а только холодила.

- Вы скажите мне, скажите, - просил я глухим, слабым голосом, - зачем же в таком случае, если пьеса никак не расходится у них, они не хотят, чтобы я отдал ее в другой театр? Зачем она им? Зачем?

- Хорошенькое дело! Как зачем? Очень интересно нашему театру, чтобы рядом поставили новую пьесу, да которая, по-видимому, может иметь успех! С какой стати! Да ведь вы же написали в договоре, что не отдадите пьесу в другой театр?

Тут у меня перед глазами запрыгали бесчисленные огненно-зеленые надписи "автор не имеет права" и какое-то слово "буде"... и хитрые фигурки параграфов, вспомнился кожаный кабинет, показалось, что запахло духами.

- Будь он проклят! - прохрипел я.

- Кто?!

- Будь он проклят! Гавриил Степанович!

- Орел! - воскликнул Бомбардов, сверкая воспаленными глазами.

- И ведь какой тихий и все о душе говорит!..

- Заблуждение, бред, чепуха, отсутствие наблюдательности! - вскрикивал Бомбардов, глаза его пылали, пылала папироса, дым валил у него из ноздрей. - Орел, кондор. Он на скале сидит, видит на сорок километров кругом. И лишь покажется точка, шевельнется, он взвизгивает и вдруг камнем падает вниз! Жалобный крик, хрипение... и вот уж он взвился в поднебесье, и жертва у него!

- Вы поэт, черт вас возьми! - хрипел я.

- А вы, - тонко улыбнувшись, шепнул Бомбардов, - злой человек! Эх, Сергей Леонтьевич, предсказываю вам, трудно вам придется...

Слова его кольнули меня. Я считал, что я совсем не злой человек, но тут же вспомнились и слова Ликоспастова о волчьей улыбке...

- Значит, - зевая, говорил я, - значит, пьеса моя не пойдет? Значит, все пропало?

Бомбардов пристально поглядел на меня и сказал с неожиданной для него теплотой в голосе:

- Готовьтесь претерпеть все. Не стану вас обманывать. Она не пойдет. Разве что чудо...

Приближался осенний, скверный, туманный рассвет за окном. Но, несмотря на то, что были противные объедки, в блюдечках груды окурков, я, среди всего этого безобразия, еще раз поднятый какой-то последней, по-видимому, волной, начал произносить монолог о золотом коне.

Я хотел изобразить моему слушателю, как сверкают искорки на золотом крупе коня, как дышит холодом и своим запахом сцена, как ходит смех по залу... Но главное было не в этом. Раздавлив в азарте блюдечко, я страстно старался убедить Бомбардова в том, что я, лишь только увидел коня, как сразу понял и сцену, и все ее мельчайшие тайны. Что, значит, давным-давно, еще, быть может, в детстве, а может быть, и не родившись, я уже мечтал, я смутно тосковал о ней. И вот пришел!

- Я новый, - кричал я, - я новый! Я неизбежный, я пришел!

Тут какие-то колеса поворачивались в горящем мозгу, и выскакивала Людмила Сильвестровна, взывала, махала кружевным платком.

- Не может она играть! - в злобном исступлении хрипел я.

- Но позвольте!.. Нельзя же.

- Попрошу не противоречить мне, - сурово говорил я, - вы притерпелись, я же новый, мой взгляд остр и свеж! Я вижу сквозь нее.

- Однако!

- И никакая те... теория ничего не поможет! А вот там маленький, курносый, чиновничка играет, руки у него белые, голос сиплый, но теория ему не нужна, и этот, играющий убийцу в черных перчатках... не нужна ему теория!

- Аргунин... - глухо донеслось до меня из-за завесы дыма.

- Не бывает никаких теорий! - окончательно впадая в самонадеянность, вскрикивал я и даже зубами скрежетал и тут совершенно неожиданно увидел, что на сером пиджаке у меня большое масляное пятно с прилипшим кусочком луку. Я растерянно оглянулся. Не было ночи и в помине. Бомбардов потушил лампу, и в синеве стали выступать все предметы во всем своем уродстве.

Ночь была съедена, ночь ушла.

#### Глава 14. ТАИНСТВЕННЫЕ ЧУДОТВОРЦЫ

Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, и недавно все это было, а между тем восстановить события стройно и последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи! Кой-что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик в памяти. Да, впрочем, труха и есть. Дождик? Дождик? Ну, месяц, стало быть, который пошел вслед за пьяной ночью, был ноябрь. Ну, тут, конечно, дождь вперемешку с липким снегом. Ну, вы Москву знаете, надо полагать? Стало быть, описывать ее нечего. Чрезвычайно нехорошо на ее улицах в ноябре. И в учреждениях тоже нехорошо. Но это бы еще с полгоря, худо, когда дома нехорошо. Чем, скажите мне, выводить пятна с одежды? Я пробовал и так и

эдак, и тем и другим. И ведь удивительная вещь: например, намочишь бензином, и чудный результат - пятно тает, тает и исчезает. Человек счастлив, ибо ничто так не мучает, как пятно на одежде. Неаккуратно, нехорошо, портит нервы. Повесишь пиджак на гвоздик, утром встанешь - пятно на прежнем месте и пахнет чуть-чуть бензином. То же самое после кипятку, спитого чаю, одеколону. Вот чертовщина! Начинаешь злиться, дергаться, но ничего не сделаешь. Нет, видно, кто посадил себе пятно на одежду, так уж с ним и будет ходить до тех самых пор, пока не сгниет и не будет сброшен навсегда самый костюм. Мне-то теперь уж все равно - но другим пожелаю, чтобы их было как можно меньше.

Итак, я выводил пятно и не вывел, потом, помнится, все лопались шнурки на ботинках, кашлял и ежедневно ходил в "Вестник", страдал от сырости и бессонницы, а читал как попало и бог знает что. Обстоятельства же сложились так, что людей возле меня не стало. Ликоспастов почему-то уехал на Кавказ, приятеля моего, у которого я похищал револьвер, перевели на службу в Ленинград, а Бомбардов заболел воспалением почек, и его поместили в лечебницу. Изредка я ходил его навещать, но ему, конечно, было не до разговоров о театре. И понимал он, конечно, что как-никак, а после случая с "Черным снегом" дотрагиваться до этой темы не следует, а до почек можно, потому что здесь все-таки возможны всякие утешения. Поэтому о почках и говорили, даже Кли в шуточном плане вспоминали, но было как-то невесело.

Всякий раз, впрочем, как я видел Бомбардова, я вспоминал о театре, но находил в себе достаточно воли, чтобы ни о чем его не спросить. Я поклялся себе вообще не думать о театре, но клятва эта, конечно, нелепая. Думать запретить нельзя. Но можно запретить справляться о театре. И это я себе запретил.

А театр как будто умер и совершенно не давал о себе знать. Никаких известий из него не приходило. От людей, повторяю, удалился. Ходил в букинистические лавки и по временам сидел на корточках, в полутьме, роясь в пыльных журналах и, помнится, видел чудесную картинку... триумфальная арка...

Тем временем дожди прекратились, и совершенно неожиданно ударил мороз. Окно разделало узором в моей мансарде, и, сидя у окна и дыша на двугривенный и отпечатывая его на обледеневшей поверхности, я понял, что писать пьесы и не играть их - невозможно. Однако из-под полу по вечерам доносился вальс, один и тот же (кто-то разучивал его), и вальс этот порождал картинки в коробочке, довольно странные и редкие. Так, например, мне казалось, что внизу притон курильщиков опиума, и даже складывалось нечто, что я развязно мысленно называл - "третьим действием". Именно сизый дым, женщина с асимметричным лицом, какой-то фрачник, отравленный дымом, и подкрадывающийся к нему с финским отточенным ножом человек с лимонным лицом и раскосыми глазами. Удар ножом, поток крови. Бред, как видите! Чепуха! И куда отнести пьесу, в которой подобное третье действие?

Да я и не записывал придуманное. Возникает вопрос, конечно, и прежде всего он возникает у меня самого - почему человек, закопавший самого себя в мансарде, потерпевший крупную неудачу, да еще и меланхолик (это-то я понимаю, не беспокойтесь), не сделал вторичной попытки лишить себя жизни?

Признаюсь прямо: первый опыт вызвал какое-то отвращение к этому насильственному акту. Это если говорить обо мне. Но истинная причина, конечно, не в этом. Всему приходит час. Впрочем, не будем распространяться на эту тему.

Что касается внешнего мира, то все-таки вовсе отрезаться от него невозможно, и давал он себя знать потому, что в тот период времени, когда я получал от Гавриила Степановича то пятьдесят, то сто рублей, я подписался на три театральные журналы и на "Вечернюю Москву".

И приходили номера этих журналов более или менее аккуратно. Просматривая отдел "Театральные новости", я нет-нет да и наткнулся на известия о моих знакомых.

Так, пятнадцатого декабря прочитал: "Известный писатель Измаил Александрович Бондаревский заканчивает пьесу "Монмартрские ножи", из жизни эмиграции. Пьеса, по слухам, будет предоставлена автором Старому Театру".

Семнадцатого я развернул газету и наткнулся на следующее известие:

"Известный писатель Е. Агапенков усиленно работает над комедией "Деверь" по заказу Театра Дружной Когорты".

Двадцать второго было напечатано: "Драматург Клинкер в беседе с нашим сотрудником поделился сообщением о пьесе, которую он намерен предоставить Независимому Театру. Альберт Альбертович сообщил, что пьеса его представляет собою широко развернутое полотно гражданской войны под Касимовым. Пьеса называется условно "Приступ".

А дальше как бы град пошел: и двадцать первого, и двадцать четвертого, и двадцать шестого. Газета - и в ней на третьей полосе мутноватое изображение молодого человека, с необыкновенно мрачной головой и как бы бодающего кого-то, и сообщение, что это Прок И.С. Драма. Кончает третий акт.

Жвенко Онисим. Анбакомов. Четыре, пять актов. Второго января и я обиделся. Было напечатано: "Консультант М.Панин созвал совещание в Независимом Театре группы драматургов. Тема - сочинение современной пьесы для Независимого Театра".

Заметка была озаглавлена "Пора, давно пора!", и в ней выражалось сожаление и укоризна Независимому Театру в том, что он единственный из всех театров до сих пор еще не поставил ни одной современной пьесы, отображающей нашу эпоху. "А между тем, - писала газета, - именно он, и преимущественно он, Независимый Театр, как никакой другой, в состоянии достойным образом раскрыть пьесу современного драматурга, ежели за это раскрытие возьмутся такие мастера, как Иван Васильевич и Аристарх Платонович".

Далее следовали справедливые укоры и по адресу драматургов, не удосужившихся до сих пор создать произведение, достойное Независимого Театра.

Я приобрел привычку разговаривать с самим собой.

- Позвольте, - обиженно надувая губы, бормотал я, - как это никто не написал пьесу? А мост? А гармоника? Кровь на затоптанном снегу?

Вьюга посвистывала за окном, мне казалось, что во вьюге за окном все тот же проклятый мост, что гармоника поет и слышны сухие выстрелы.

Чай остывал в стакане, со страницы газеты глядело на меня лицо с бакенбардами. Ниже была напечатана телеграмма, присланная Аристархом Платоновичем совещанию:

"Телом в Калькутте, душою с вами".

- Ишь какая жизнь кипит там, гудит, как в плотине, - шептал я, зевая, - а я как будто погребен.

Ночь уплывает, уплывает и завтрашний день, уплывут они все, сколько их будет отпущено, и ничего не останется, кроме неудачи.

Хромая, глядя больное колено, я тащился к дивану, начинал снимать пиджак, ежился от холода, заводил часы.

Так прошло много ночей, их я помню, но как-то все скопом, - было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти - ничего не помню.

Так тянулось до конца января, и вот тут отчетливо я помню сон, приснившийся в ночь с двадцатого на двадцать первое.

Громадный зал во дворце, и будто бы иду по залу. В подсвечниках дымно горят свечи, тяжелые, жирные, золотистые. Одет я странно, ноги обтянуты трико, словом, я не в нашем веке, а в пятнадцатом. Иду я по залу, а на поясе у меня кинжал. Вся прелесть сна заключалась не в том, что я явный правитель, а именно в этом кинжале, которого явно боялись придворные, стоящие у дверей. Вино не может опьянить так, как этот кинжал, и, улыбаясь, нет, смеясь во сне, я бесшумно шел к дверям.

Сон был прелестен до такой степени, что, проснувшись, я еще смеялся некоторое время.

И тут стукнули в дверь, и я подошел в одеяле, шаркая разорванными туфлями, и рука соседки просунулась в щель и подала мне конверт. Золотые буквы "НТ" сверкали на нем.

Я разорвал его, вот он и сейчас, распоротый косо, лежит передо мною (и я увезу его с собой!). В конверте был лист опять-таки с золотыми готическими буквами, и крупным, жирным почерком Фомы Стрижа было написано:

1 Дорогой Сергей Леонтьевич!

1 Немедленно в Театр! Завтра начинаю репетировать

1 "Черный снег" в 12 часов дня.

1 Ваш Ф. Стриж

Я сел, криво улыбаясь, на диван, дико глядя в листок и думая о кинжале, потом почему-то о Людмиле Сильвестровне, глядя на голые колени.

В дверь тем временем стучали властно и весело.

- Да, - сказал я. Тут в комнату вошел Бомбардов. Бледный с желтизной, показавшийся выше ростом после болезни, и голосом, от нее же изменившимся, он сказал:

- Знаете уже? Я нарочно заехал к вам.

И, встав перед ним во всей наготе и нищете, волоча по полу старое одеяло, я поцеловал его, уронив листок.

- Как же это могло случиться? - спросил я, наклоняясь к полу.

- Этого даже я не пойму, - ответил мне дорогой мой гость, - никто не поймет и даже никогда не узнает. Думаю, что это сделали Панин со Стрижом. Но как они это сделали - неизвестно, ибо это выше человеческих сил. Короче: это чудо.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Глава 15

Серой тонкой змеей, протянутый через весь партер, уходящий неизвестно куда, лежал на полу партера электрический провод в чехле. От него питалась малюсенькая лампочка на столике, стоящем в среднем проходе партера. Лампочка давала ровно столько света, чтобы осветить лист бумаги на столе и чернильницу. На листе была нарисована курносая рожа, рядом с рожей лежала еще свежая апельсиновая корка и стояла пепельница, полная окурков. Графин с водой отблескивал тускло, он был вне светящегося круга.

Партер настолько был погружен в полумрак, что люди со свету, входя в него, начинали идти ощупью, берясь за спинки кресел, пока не привыкал глаз.

Сцена была открыта и слабо освещена сверху из выносного софита. На сцене стояла какая-то стенка, задом повернутая на публику, причем на ней было написано: "Волки и овцы - 2". Стояло кресло, письменный стол, два табурета. В кресле сидел рабочий в косоворотке и пиджаке, а на одном из табуретов - молодой человек в пиджаке и брюках, но опоясанный ремнем, на котором висела шашка с георгиевским темляком.

В зале было душно, на улице уже давно был полный май.

Это был антракт на репетиции - актеры ушли в буфет завтракать. Я же остался. События последних месяцев дали себя знать, я чувствовал себя как бы избитым, все время хотелось присесть и посидеть долго и неподвижно. Такое состояние, впрочем, нередко перемежалось вспышками нервной энергии, когда хотелось двигаться, объяснять, говорить и спорить. И вот теперь я сидел в первом состоянии. Под колпачком лампочки густо слоился дым, его всасывало в колпачок, и потом он уходил куда-то ввысь.

Мысли мои вертелись только вокруг одного - вокруг моей пьесы. С того самого дня, как прислано было Фомой Стрижом мне решающее письмо, жизнь моя изменилась до неузнаваемости. Как будто наново родился человек, как будто и комната у него стала другая, хотя это была все та же комната, как будто и люди, окружающие его, стали иными, и в городе Москве он, этот человек, вдруг получил право на существование, приобрел смысл и даже значение.

Но мысли были прикованы только к одному, к пьесе, она заполняла все время - даже сны, потому что снилась уже исполненной в каких-то небывающих декорациях, снилась снятой с репертуара, снилась провалившейся или имеющей огромный успех. Во втором из этих случаев, помнится, ее играли на наклонных лесах, на которых актеры рассыпались, как штукатуры, и играли с фонарями в руках, поминутно запевая песни. Автор почему-то

находился тут же, расхаживая по утлым перекладам так же свободно, как муха по стене, а внизу были липы и яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном возбужденной публикой. В первом наичаще снился вариант - автор, идя на генеральную, забыл надеть брюки. Первые шаги по улице он делал смущенно, в какой-то надежде, что удастся проскочить незамеченным, и даже приготавливал оправдание для прохожих - что-то насчет ванны, которую он только что брал, и что брюки, мол, за кулисами. Но чем дальше, тем хуже становилось, и бедный автор прилипал к тротуару, искал разносчика газет, его не было, хотел купить пальто, не было денег, скрывался в подъезд и понимал, что на генеральную опоздал...

- Ваня! - слабо доносилось со сцены. - Дай желтый!

В крайней ложе яруса, находящейся у самого портала сцены, что-то загоралось, из ложи косо падал луч раструбом, на полу сцены загоралось желтое круглое пятно, ползло, подхватывая в себя то кресло с потертой обивкой, со сбитой позолотой на ручках, то взьерошенного бутафора с деревянным канделябром в руке.

Чем ближе к концу шел антракт, тем больше шевелилась сцена. Высоко поднятые, висящие бесчисленными рядами полотнища под небом сцены вдруг оживали. Одно из них уходило вверх и сразу обнажало ряд тысячесвечовых ламп, режущих глаза. Другое почему-то, наоборот, шло вниз, но, не дойдя до полу, уходило. В кулисах появлялись темные тени, желтый луч уходил, всасывался в ложу. Где-то стучали молотками. Появлялся человек в брюках гражданских, но в шпорах и, звеня ими, проходил по сцене. Потом кто-то, наклонившись к полу сцены, кричал в пол, приложив руку ко рту щитком:

- Гнобин! Давай!

Тогда почти бесшумно все на сцене начинало уезжать вбок. Вот повлекло бутафора, он уехал со своим канделябром, проплыло кресло и стол. Кто-то вбежал на тронувшийся круг против движения, заплясал, выравниваясь, и, выравнявшись, уехал. Гудение усилилось, и показались, становясь на место ушедшей обстановки, странные, сложные деревянные сооружения, состоящие из некрашенных крутых лестниц, перекладин, настилов. "Едет мост", - думал я и всегда почему-то испытывал волнение, когда он становился на место.

- Гнобин! Стоп! - кричали на сцене. - Гнобин, дай назад!

Мост становился. Затем, брызнув сверху из-под колосников светом в утомленные глаза, обнажались пузатые лампы, скрывались опять, и грубо измазанное полотнище спускалось сверху, становилось по косою. "Сторожка..." - думал я, путаясь в геометрии сцены, нервничая, стараясь прикинуть, как все это будет выглядеть, когда вместо выгородки, сделанной из первых попавшихся сборных вещей из других пьес, соорудят наконец настоящий мост. В кулисах вспыхивали лупоглазые прожекторы в козырьках, снизу сцену залило теплой живой волной света. "Рампу дал..."

Я щурился во тьму на ту фигуру, которая решительным шагом приближалась к режиссерскому столу.

"Романус идет, значит, сейчас произойдет что-то..." - думал я, заслоняясь рукой от лампы.

И действительно, через несколько мгновений надо мною показывалась раздвоенная борода, в полутьме сверкали возбужденные глаза дирижера Романуса. В петлице у Романуса поблескивал юбилейный значок с буквами "НТ".

- Сэ нон э веро, э бен тровато [1], а может быть, еще сильнее! - начинал, как обычно, Романус, глаза его вертелись, горя, как у волка в степи. Романус искал жертвы и, не найдя ее, садился рядом со мною. -----

[1] Если это и неправда, то хорошо найдено (итал.).

-----  
- Как вам это нравится? А? - прищуриваясь, спрашивал меня Романус.

"Втянет, ой, втянет он меня сейчас в разговор..." - думал я, корчась у лампы.

- Нет, вы, будьте добры, скажите ваше мнение, - буравя меня глазом, говорил Романус, - оно тем более интересно, что вы писатель и не можете относиться равнодушно к безобразиям, которые у нас происходят.

"Ведь как ловко он это делает..." - тоскуя до того, что чесалось тело, думал я.

- Ударить концертмейстера и тем более женщину тромбоном в спину? - азартно спрашивал Романус. - Нет-с. Это дудки! Я тридцать пять лет на сцене и такого случая еще не видел. Стриж думает, что музыканты свиньи и их можно загонять в закут? Интересно, как это с писательской точки зрения?

Отмалчиваться больше не удавалось.

- А что такое?

Романус только и ждал этого. Звучным голосом, стараясь, чтобы слышали рабочие, с любопытством скопляющиеся у рампы, Романус говорил, что Стриж затолкал музыкантов в карман сцены, где играть нет никакой возможности по следующим причинам: первое - тесно, второе - темно, а в-третьих, в зале не слышно ни одного звука, в-четвертых, ему стоять негде, музыканты его не видят.

- Правда, есть люди, - зычно сообщал Романус, - которые смялят в музыке не больше, чем некоторые животные...

"Чтоб тебя черт взял!" - думал я.

- ...в некоторых фруктах!

Усилия Романуса увенчались успехом - из электротехнической будки слышалось хихиканье, из будки вылезала голова.

- Правда, таким лицам нужно не режиссурой заниматься, а торговать квасом у Ново-Девичьего кладбища!.. - заливался Романус.

Хихиканье повторялось. Далее выяснялось, что безобразия, допущенные Стрижом, дали свои результаты. Тромбонист ткнул в темноте тромбоном концертмейстера Анну Ануфриевну Деньжину в спину так, что...

- Рентген покажет, чем это кончится!

Романус добавлял, что ребра можно ломать не в театре, а в пивной, где, впрочем, некоторые получают свое артистическое образование.

Ликующее лицо монтера красовалось над прорезом будки, рот его раздирало смехом.

Но Романус утверждает, что это так не кончится. Он научил Анну Ануфриевну, что делать. Мы, слава богу, живем в Советском государстве, напоминал Романус, ребра членам профсоюзов ломать не приходится. Он научил Анну Ануфриевну подать заявление в местком.

- Правда, по вашим глазам я вижу, - продолжал Романус, впиваясь в меня и стараясь уловить меня в круге света, - что у вас нет полной уверенности в том, что наш знаменитый председатель месткома так же хорошо разбирается в музыке, как Римский-Корсаков или Шуберт.

"Вот тип!" - думал я.

- Позвольте!.. - стараясь сурово говорить, говорил я.

- Нет уж, будем откровенны! - восклицал Романус, пожимая мне руку. - Вы писатель! И прекрасно понимаете, что навряд ли Митя Малокрошечный, будь он хоть двадцать раз председателем, отличит гобой от виолончели или фугу Баха от фокстрота "Аллилуйя".

Тут Романус выражал радость, что хорошо еще, что ближайший друг...

- ...и собутыльник!..

К теноровому хихиканью в электрической будке присоединялся хриплый басок. Над будкой ликовало уже две головы.

...Антон Калошин помогает разбираться Малокрошечному в вопросах искусства. Это, впрочем, и не мудрено, ибо до работы в театре Антон служил в пожарной команде, где играл на трубе. А не будь Антона, Романус ручается, что кой-кто из режиссеров спутал бы, и очень просто, увертюру к "Руслану" с самым обыкновенным "Со святыми упокой"!

"Этот человек опасен, - думал я, глядя на Романуса, - опасен по-серьезному. Средств борьбы с ним нет!"

Кабы не Калошин, конечно, у нас могли бы заставить играть музыканта, подвесив его кверху ногами к выносному софиту, благо Иван Васильевич не появляется в театре, но тем

не менее придется театру заплатить Анне Ануфриевне за искрошенные ребра. Да и в союз Романус ей посоветовал наведаться, узнать, как там смотрят на такие вещи, про которые действительно можно сказать:

- Сэ нон э веро, э бен тровато, а может быть, еще сильнее!

Мягкие шаги послышались сзади, приближалось избавление. У стола стоял Андрей Андреевич. Андрей Андреевич был первым помощником режиссера в театре, и он вел пьесу "Черный снег".

Андрей Андреевич, полный, плотный блондин лет сорока, с живыми многоопытными глазами, знал свое дело хорошо. А дело это было трудное.

Андрей Андреевич, одетый по случаю мая не в обычный темный костюм и желтые ботинки, а в синюю сатиновую рубашку и брезентовые желтоватые туфли, подошел к столу, имея под мышкою неизменную папку.

Глаз Романуса запылал сильнее, и Андрей Андреевич не успел еще пристроить папку под лампой, как вскипел скандал. Начался он с фразы Романуса:

- Я категорически протестую против насилия над музыкантами и прошу занести в протокол то, что происходит!

- Какие насилия? - спросил Андрей Андреевич служебным голосом и чуть шевельнул бровью.

- Если у нас ставятся пьесы, больше похожие на оперу... - начал было Романус, но спохватился, что автор сидит тут же, и продолжал, исказив свое лицо улыбкой в мою сторону, - что и правильно! Ибо наш автор понимает все значение музыки в драме!.. То... Я прошу отвести оркестру место, где он мог бы играть!

- Ему отведено место в кармане, - сказал Андрей Андреевич, делая вид, что открывает папку по срочному делу.

- В кармане? А может быть, лучше в суфлерской будке? Или в бутафорской?

- Вы сказали, что в трюме нельзя играть.

- В трюме? - взвизгнул Романус. - И повторяю, что нельзя. И в чайном буфете нельзя, к вашему сведению.

- К вашему сведению, я и сам знаю, что в чайном буфете нельзя, - сказал Андрей Андреевич, и у него шевельнулась другая бровь.

- Вы знаете, - ответил Романус и, убедившись, что Стрижа еще нет в партере, продолжал: - Ибо вы старый работник и понимаете в искусстве, чего нельзя сказать про кой-кого из режиссеров...

- Тем не менее обращайтесь к режиссеру. Он проверит звучание...

- Чтобы проверить звучание, нужно иметь кой-какой аппарат, при помощи которого можно проверить, например, уши! Но если кому-нибудь в детстве...

- Я отказываюсь продолжать разговор в таком тоне, - сказал Андрей Андреевич и закрыл папку.

- Какой тон?! Какой тон? - изумился Романус. - Я обращаюсь к писателю, пусть он подтвердит свое возмущение по поводу того, как калечат у нас музыкантов!

- Позвольте... - начал я, видя изумленный взгляд Андрея Андреевича.

- Нет, виноват! - закричал Романус Андрею Андреевичу. - Если помощник, который обязан знать сцену как свои пять пальцев...

- Прошу не учить меня, как знать сцену, - сказал Андрей Андреевич и оборвал шнурок на папке.

- Приходится! Приходится, - ядовито скалясь, прохрипел Романус.

- Я занесу в протокол то, что вы говорите! - сказал Андрей Андреевич.

- И я буду рад, что вы занесете!

- Прошу оставить меня в покое! Вы дезорганизуете работников на репетиции!

- Прошу и эти слова занести! - фальцетом вскричал Романус.

- Прошу не кричать!

- И я прошу не кричать!

- Прошу не кричать! - отозвался, сверкая глазами, Андрей Андреевич и вдруг бешено закричал: - Верховые! Что вы там делаете?! - и бросился через лесенку на сцену.

По проходу уже спешил Стриж, а за ним темными силуэтами показались актеры.

Начало скандала со Стрижом я помню. Романус поспешил к нему навстречу, подхватил под руку и заговорил:

- Фома! Я знаю, что ты ценишь музыку и это не твоя вина, но я прошу и требую, чтобы помощник не смел издеваться над музыкантами!

- Верховые! - кричал на сцене Андрей Андреевич. - Где Бобылев?!

- Бобылев обедает, - глухо с неба донесся голос.

Актеры кольцом окружили Романуса и Стрижа.

Было жарко, был май. Сотни раз уже эти люди, лица которых казались загадочными в полутьме над абажуром, мазались краской, перевоплощались, волновались, истощались... Они устали за сезон, нервничали, капризничали, дразнили друг друга. Романус доставил огромное и приятное развлечение.

Рослый голубоглазый Скавронский потирал радостно руки и бормотал:

- Так, так, так... Давай! Истинный бог! Ты ему все выскажи, Оскар!

Все это дало свои результаты.

- Попрошу на меня не кричать! - вдруг рявкнул Стриж и треснул пьесой по столу.

- Это ты кричишь!! - визгнул Романус.

- Правильно! Истинный бог! - веселился Скавронский, подбадривая то Романуса: - Правильно, Оскар! Нам ребра дороже этих спектаклей! - то Стрижа: - А актеры хуже, что ли, музыкантов? Ты, Фома, обрати свое внимание на этот факт!

- Квасу бы сейчас, - зевая, сказал Елагин, - а не репетировать... И когда эта склока кончится?

Склока продолжалась еще некоторое время, крики неслись из круга, замыкавшего лампу, и дым поднимался вверх.

Но меня уже не интересовала склока. Вытирая потный лоб, я стоял у рампы, смотрел, как художница из макетной - Аврора Госье ходила по краю круга с измерительной рейкой, прикладывала ее к полу. Лицо Госье было спокойное, чуть печальное, губы сжаты. Светлые волосы Госье то загорались, точно их подожгли, когда она наклонялась к берегу рампы, то потухали и становились как пепел. И я размышлял о том, что все, что сейчас происходит, что тянется так мучительно, все получит свое завершение...

Склока меж тем кончилась.

- Давайте, ребяташки! Давайте! - кричал Стриж. - Время теряем!

Патрикеев, Владычинский, Скавронский уже ходили по сцене меж бутафорами. На сцену же проследовал и Романус. Его появление не прошло бесследно. Он подошел к Владычинскому и озабоченно спросил у того, не находит ли Владычинский, что Патрикеев очень уж злоупотребляет буффонными приемами, вследствие чего публика засмеется как раз в тот момент, когда у Владычинского важнейшая фраза: "А мне куда прикажете деваться? Я одинок, я болен..."

Владычинский побледнел как смерть, и через минуту и актеры, и рабочие, и бутафоры строем стояли у рампы, слушая, как переругиваются давние враги Владычинский с Патрикеевым. Владычинский, атлетически сложенный человек, бледный от природы, а теперь еще более бледный от злобы, сжав кулаки и стараясь, чтобы его мощный голос звучал бы страшно, не глядя на Патрикеева, говорил:

- Я займусь вообще этим вопросом! Давно пора обратить внимание на циркачей, которые, играя на штампиках, позорят марку театра!

Комический актер Патрикеев, играющий смешных молодых людей на сцене, а в жизни необыкновенно ловкий, поворотливый и плотный, старался сделать лицо презрительное и в то же время страшное, отчего глаза у него выражали печаль, а лицо физическую боль, сильным голосом отвечал:

- Попрошу не забываться! Я актер Независимого Театра, а не кинохалтурщик, как вы!

Романус стоял в кулисе, удовлетворенно сверкая глазом, голоса ссорящихся покрывал голос Стрижа, кричавшего из кресел:

- Прекратите это сию минуту! Андрей Андреевич! Давайте тревожные звонки Строеву! Где он? Вы мне производственный план срываете!

Андрей Андреевич привычной рукою жал кнопки на щите на посту помощника, и далеко где-то за кулисами, и в буфете, и в фойе тревожно и пронзительно дребезжали звонки.

Строев же, заболтавшийся в предбаннике у Торопецкой, в это время, прыгая через ступеньки, спешил к зрительному залу. На сцену он проник не через зал, а сбоку, через ворота на сцену, пробрался к посту, а оттуда к рампе, тихонько позвякивая шпорами, надетыми на штатские ботинки, и стал, искусно делая вид, что присутствует он здесь уже давным-давно.

- Где Строев? - завывал Стриж. - Звоните ему, звоните! Требую прекращения ссоры!

- Звоню! - отвечал Андрей Андреевич. Тут он повернулся и увидел Строева. - Я вам тревожные даю! - сурово сказал Андрей Андреевич, и тотчас звон в театре утих.

- Мне? - отозвался Строев. - Зачем мне тревожные звонки? Я здесь десять минут, если не четверть часа... минимум... Мама... миа... - он прочистил горло кашлем.

Андрей Андреевич набрал воздуха, но ничего не сказал, а только многозначительно посмотрел. Набранный же воздух он использовал для того, чтобы прокричать:

- Прошу лишних со сцены! Начинаем!

Все улеглось, ушли бутафоры, актеры разошлись к своим местам. Романус в кулисе шепотом поздравил Патрикеева с тем, как он мужественно и правдиво возражал Владычинскому, которого давно уже пора одернуть. Глава 16. УДАЧНАЯ ЖЕНИТЬБА

В июне месяце стало еще жарче, чем в мае.

Мне запомнилось это, а остальное удивительным образом смазилось в памяти. Обрывки кое-какие, впрочем, сохранились. Так, помнится дрыкинская пролетка у подъезда театра, сам Дрыкин в ватном синем кафтане на козлах и удивленные лица шоферов, объезжавших дрыкинскую пролетку.

Затем помнится большой зал, в котором были беспорядочно расставлены стулья, и на этих стульях сидящие актеры. За столом же, накрытым сукном, Иван Васильевич, Стриж, Фома и я.

С Иваном Васильевичем я познакомился поближе за этот период времени и могу сказать, что все это время я помню, как время очень напряженное. Проистекало это оттого, что все усилия свои я направил на то, чтобы произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление, и хлопот у меня было очень много.

Через день я отдавал свой серый костюм уютить Дусе и аккуратно платил ей за это по десять рублей.

Я нашел подворотню, в которой была выстроена уютная комнатка как бы из картона, и у плотного человека, у которого на пальцах было два бриллиантовых кольца, купил двадцать крахмальных воротничков и ежедневно, отправляясь в театр, надевал свежий. Кроме того, мною, но не в подворотне, а в государственном универсальном магазине были закуплены шесть сорочек: четыре белых и одна в лиловую полоску, одна в синеватую клетку, восемь галстуков разной расцветки. У человека без шапки, невзирая на то, какая была погода, сидящего на углу в центре города рядом со стойкой с развешанными на ней шнурками, я приобрел две банки желтой ботиночной мази и чистил утром желтые туфли, беря у Дуси щетку, а потом натирал туфли полый своего халата.

Эти невероятные, чудовищные расходы привели к тому, что я в две ночи сочинил маленький рассказ под заглавием "Блоха" и с этим рассказом в кармане ходил в свободное от репетиций время по редакциям еженедельных журналов, газетам, пытаюсь этот рассказ продать. Я начал с "Вестника пароходства", в котором рассказ понравился, но где напечатать его отказались на том и совершенно резонном основании, что никакого отношения к речному пароходству он не имеет. Долго и скучно рассказывать о том, как я посещал редакции и как мне в них отказывали. Запомнилось лишь то, что встречали меня

повсюду почему-то неприязненно. В особенности помнится мне какой-то полный человек в пенсне, который не только решительно отверг мое произведение, но и прочитал мне что-то вроде нотации.

- В вашем рассказе чувствуется подмигивание, - сказал полный человек, и я увидел, что он смотрит на меня с отвращением.

Нужно мне оправдаться. Полный человек заблуждался. Никакого подмигивания в рассказе не было, но (теперь это можно сделать) надлежит признаться, что рассказ этот был скучен, нелеп и выдавал автора с головой; никаких рассказов автор писать не мог, у него не было для этого дарования.

Тем не менее произошло чудо. Проходя с рассказом в кармане три недели и побывав на Варварке, Воздвиженке, на Чистых Прудах, на Страстном бульваре и даже, помнится, на Плющихе, я неожиданно продал свое сочинение в Златоустинском переулке на Мясницкой, если не ошибаюсь, в пятом этаже какому-то человеку с большой родинкой на щеке.

Получив деньги и заткнув страшную брешь, я вернулся в театр, без которого не мог жить уже, как морфинист без морфия.

С тяжелым сердцем я должен признаться, что все мои усилия пропали даром и даже, к моему ужасу, дали обратный результат. С каждым днем буквально я нравился Ивану Васильевичу все меньше и меньше.

Наивно было бы думать, что все расчеты я строил на желтых ботинках, в которых отражалось весеннее солнце. Нет! Здесь была хитрая, сложная комбинация, в которую входил, например, такой прием, как произнесение речей тихим голосом, глубоким и проникновенным. Голос этот соединялся со взглядом прямым, открытым, честным, с легкой улыбкой на губах (отнюдь не заискивающей, а простодушной). Я был идеально причесан, выбрит так, что при проведении тыльной стороной кисти по щеке не чувствовалось ни малейшей шероховатости, я произносил суждения краткие, умные, поражающие знанием вопроса, и ничего не выходило. Первое время Иван Васильевич улыбался, встречаясь со мною, потом он стал улыбаться все реже и реже и, наконец, совсем перестал улыбаться.

Тогда я стал производить репетиции по ночам. Я брал маленькое зеркало, садился перед ним, отражался в нем и начинал говорить:

- Иван Васильевич! Видите ли, в чем дело: кинжал, по моему мнению, применен быть не может...

И все шло как нельзя лучше. Порхала на губах пристойная и скромная улыбка, глаза глядели из зеркала и прямо и умно, лоб был разглажен, пробор лежал как белая нить на черной голове. Все это не могло не дать результата, и, однако, выходило все хуже и хуже. Я выбивался из сил, худел и немного запустил наряд. Позволял себе надевать один и тот же воротничок дважды.

Однажды ночью я решил произвести проверку и, не глядя в зеркало, произнес свой монолог, а затем воровским движением скосил глаза и взглянул в зеркало для проверки и ужаснулся.

Из зеркала глядело на меня лицо со сморщенным лбом, оскаленными зубами и глазами, в которых читалось не только беспокойство, но и задняя мысль. Я схватился за голову, понял, что зеркало меня подвело и обмануло, и бросил его на пол. Из него выскочил треугольный кусок. Скверная примета, говорят, если разобьется зеркало. Что же сказать о безумце, который сам разбивает свое зеркало?

- Дурак, дурак, - вскричал я, а так как я картавил, то показалось мне, что в тишине ночи каркнула ворона, - значит, я был хорош, только пока смотрелся в зеркало, но стоило мне убрать его, как исчез контроль и лицо мое оказалось во власти моей мысли и... а, черт меня возьми!

Я не сомневаюсь в том, что записки мои, если только они попадут кому-нибудь в руки, произведут не очень приятное впечатление на читателя. Он подумает, что перед ним

лукавый, двоедушный человек, который из какой-то корысти стремился произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление.

Не спешите осуждать. Я сейчас скажу, в чем была корысть.

Иван Васильевич упорно и настойчиво стремился изгнать из пьесы ту самую сцену, где застрелился Бахтин (Бехтеев), где светила луна, где играли на гармонике. А между тем я знал, я видел, что тогда пьеса перестанет существовать. А ей нужно было существовать, потому что я знал, что в ней истина. Характеристики, данные Ивану Васильевичу, были слишком ясны. Да, признаться, они были излишни. Я изучил и понял его в первые же дни нашего знакомства и знал, что никакая борьба с Иваном Васильевичем невозможна. У меня оставался единственный путь: добиться, чтобы он выслушал меня. Естественно, что для этого нужно было, чтобы он видел перед собою приятного человека. Вот почему я и сидел с зеркалом. Я старался спасти выстрел, я хотел, чтобы услышали, как страшно поет гармоника на мосту, когда на снегу под луной расплывается кровавое пятно. Мне хотелось, чтобы увидели черный снег. Больше я ничего не хотел.

И опять закаркала ворона.

- Дурак! Надо было понять основное! Как можно понравиться человеку, если он тебе не нравится сам! Что же ты думаешь? Что ты проведешь какого-нибудь человека? Сам против него будешь что-то иметь, а ему постараться внушить симпатию к себе? Да никогда это не удастся, сколько бы ты ни ломался перед зеркалом.

А Иван Васильевич мне не нравился. Не понравилась и тетушка Настасья Ивановна, крайне не понравилась и Людмила Сильвестровна. А ведь это чувствуется!

Дрыкинская пролетка означала, что Иван Васильевич ездил на репетиции "Черного снега" в театр.

Ежедневно в полдень Пакин рысцой вбегал в темный партер, улыбаясь от ужаса и неся в руках калоши. За ним шла Августа Авдеевна с клетчатым пледом в руках. За Августой Авдеевной - Людмила Сильвестровна с общей тетрадью и кружевным платочком.

В партере Иван Васильевич надевал калоши, усаживался за режиссерский стол, Августа Авдеевна накидывала Ивану Васильевичу на плечи плед, и начиналась репетиция на сцене.

Во время этой репетиции Людмила Сильвестровна, примостившись неподалеку от режиссерского столика, записывала что-то в тетрадь, изредка издавая восклицания восхищения - негромкие.

Тут пришла пора объясниться. Причина моей неприязни, которую я пытался дурацким образом скрыть, заключалась отнюдь не в пледе или калошах и даже не в Людмиле Сильвестровне, а в том, что Иван Васильевич, пятьдесят пять лет занимающийся режиссерской работой, изобрел широко известную и, по общему мнению, гениальную теорию о том, как актер должен был подготавливать свою роль.

Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что теория была действительно гениальна, но меня привело в отчаяние применение этой теории на практике.

Я ручаюсь головой, что, если бы я привел откуда-нибудь свежего человека на репетицию, он пришел бы в величайшее изумление.

Патрикеев играл в моей пьесе роль мелкого чиновника, влюбленного в женщину, не отвечавшую ему взаимностью.

Роль была смешная, и сам Патрикеев играл необыкновенно смешно и с каждым днем все лучше. Он был настолько хорош, что мне начало казаться, будто это не Патрикеев, а именно тот самый чиновник, которого я выдумал. Что Патрикеев существовал раньше этого чиновника и каким-то чудом я его угадал.

Лишь только дрыкинская пролетка появилась у театра, а Ивана Васильевича закутали в плед, началась работа именно с Патрикеевым.

- Ну-с, приступим, - сказал Иван Васильевич.

В партере наступила благоговейная тишина, и волнующийся Патрикеев (а волнение у него выразилось в том, что глаза его стали плаксивыми) сыграл с актрисой сцену объяснения в любви.

- Так, - сказал Иван Васильевич, живо сверкая глазами сквозь лорнетные стекла, - это никуда не годится.

Я ахнул в душе, и что-то в животе у меня оборвалось. Я не представлял себе, чтобы это можно было сыграть хоть крошечку лучше, чем сыграл Патрикеев. "И ежели он добьется этого, - подумал я, с уважением глядя на Ивана Васильевича, - я скажу, что он действительно гениален".

- Никуда не годится, - повторял Иван Васильевич, - что это такое? Это какие-то штучки и сплошное наигрывание. Как он относится к этой женщине?

- Любит ее, Иван Васильевич! Ах, как любит! - закричал Фома Стриж, следивший всю эту сцену.

- Так, - отозвался Иван Васильевич и опять обратился к Патрикееву: - А вы подумали о том, что такое пламенная любовь?

В ответ Патрикеев что-то просипел со сцены, но что именно - разобрать было невозможно.

- Пламенная любовь, - продолжал Иван Васильевич, - выражается в том, что мужчина на все готов для любимой, - и приказал: - Подать сюда велосипед!

Приказание Ивана Васильевича вызвало в Стриже восторг, и он закричал беспокойно:

- Эй, бутафоры! Велосипед!

Бутафор выкатил на сцену старенький велосипед с облупленной рамой. Патрикеев поглядел на него плаксиво.

- Влюбленный все делает для своей любимой, - звучно говорил Иван Васильевич, - ест, пьет, ходит и ездит...

Замирая от любопытства и интереса, я заглянул в клеенчатую тетрадь Людмилы Сильвестровны и увидел, что она пишет детским почерком: "Влюбленный все делает для своей любимой..."

- ...так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для своей любимой девушки, - распорядился Иван Васильевич и съел мятную лепешечку.

Я не сводил глаз со сцены. Патрикеев взгромоздился на машину, актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный ридикуль. Патрикеев тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлерскую будку, в которую боялся свалиться, а другим на актрису.

В зале заулыбались.

- Совсем не то, - заметил Иван Васильевич, когда Патрикеев остановился, - зачем вы выпучили глаза на бутафора? Вы ездите для него?

Патрикеев поехал снова, на этот раз оба глаза скосив на актрису, повернуть не сумел и уехал за кулисы.

Когда его вернули, ведя велосипед за руль, Иван Васильевич и этот проезд не признал правильным, и Патрикеев поехал в третий раз, повернув голову к актрисе.

- Ужасно! - сказал с горечью Иван Васильевич. - Мышцы напряжены, вы себе не верите. Распустите мышцы, ослабьте их! Неестественная голова, вашей голове не веришь.

Патрикеев проехался, наклонив голову, глядя исподлобья.

- Пустой проезд, вы едете пустой, не наполненный вашей возлюбленной.

И Патрикеев начал ездить опять. Один раз он проехался, подбоченившись и залихватски глядя на возлюбленную. Вертя руль одной рукой, он круто повернул и наехал на актрису, грязной шиной выпачкал ей юбку, отчего та испуганно вскрикнула. Вскрикнула и Людмила Сильвестровна в партере. Осведомившись, не ушиблена ли актриса и не нужна ли ей какая-нибудь медицинская помощь, и узнав, что ничего страшного не случилось, Иван Васильевич опять послал Патрикеева по кругу, и тот ездил много раз, пока, наконец, Иван Васильевич не осведомился, не устал ли он? Патрикеев ответил, что не устал, но Иван Васильевич сказал, что видит, что Патрикеев устал, и тот был отпущен.

Патрикеева сменила группа гостей. Я вышел покурить в буфет и, когда вернулся, увидел, что актрисин ридикюль лежит на полу, а сама она сидит, подложив руки под себя, точно так же, как и три ее гостя и одна гостья, та самая Вешнякова, о которой писали из Индии. Все они пытались произносить те фразы, которые в данном месте полагались по ходу пьесы, но никак не могли двинуться вперед, потому что Иван Васильевич останавливал каждый раз произнесшего что-нибудь, объясняя, в чем неправильность. Трудности и гостей, и патрикеевской возлюбленной, по пьесе героини, усугублялись тем, что каждую минуту им хотелось вытащить руки из-под себя и сделать жест.

Видя мое изумление, Стриж шепотом объяснил мне, что актеры лишены рук Иваном Васильевичем нарочно, для того, чтобы они привыкли вкладывать смысл в слова и не помогать себе руками.

Переполненный впечатлениями от новых удивительных вещей, я возвращался с репетиции домой, рассуждая так:

- Да, это все удивительно. Но удивительно лишь потому, что я в этом деле профан. Каждое искусство имеет свои законы, тайны и приемы. Дикарю, например, покажется смешным и странным, что человек чистит щеткой зубы, набивая рот мелом. Непосвященному кажется странным, что врач, вместо того чтобы сразу приступить к операции, проделывает множество странных вещей с больным, например, берет кровь на исследование и тому подобное...

Более всего я жаждал на следующей репетиции увидеть окончание истории с велосипедом, то есть посмотреть, удастся ли Патрикееву проехать "для нее".

Однако на другой день о велосипеде никто и не заикнулся, и я увидел другие, но не менее удивительные вещи. Тот же Патрикеев должен был поднести букет возлюбленной. С этого и началось в двенадцать часов дня и продолжалось до четырех часов.

При этом подносил букет не только Патрикеев, но по очереди все: и Елагин, игравший генерала, и даже Адальберт, исполняющий роль предводителя бандитской шайки. Это меня чрезвычайно изумило. Но Фома и тут успокоил меня, объяснив, что Иван Васильевич поступает, как всегда, чрезвычайно мудро, сразу обучая массу народа какому-нибудь сценическому приему. И действительно, Иван Васильевич сопровождал урок интересными и назидательными рассказами о том, как нужно подносить букеты дамам и кто их как подносил. Тут же я узнал, что лучше всего это делали все тот же Комаровский-Бионкур (Людмила Сильвестровна вскричала, нарушая порядок репетиции: "Ах, да, да, Иван Васильевич, не могу забыть!") и итальянский баритон, которого Иван Васильевич знал в Милане в 1889 году.

Я, правда, не зная этого баритона, могу сказать, что лучше всех подносил букет сам Иван Васильевич. Он увлекся, вышел на сцену и показал раз тринадцать, как нужно сделать этот приятный подарок. Вообще, я начал убеждаться, что Иван Васильевич удивительный и действительно гениальный актер.

На следующий день я опоздал на репетицию и, когда явился, увидел, что рядышком на стульях на сцене сидят Ольга Сергеевна (актриса, игравшая героиню), и Вешнякова (гостья), и Елагин, и Владычинский, и Адальберт, и несколько мне неизвестных и по команде Ивана Васильевича "раз, два, три" вынимают из карманов невидимые бумажники, пересчитывают в них невидимые деньги и прячут их обратно.

Когда этот этюд закончился (а поводом к нему, как я понял, служило то, что Патрикеев в этой картине считал деньги), начался другой этюд. Масса народу была вызвана Андреем Андреевичем на сцену и, усевшись на стульях, стала невидимыми ручками на невидимой бумаге и столах писать письма и их заклеивать (опять-таки Патрикеев!). Фокус заключался в том, что письмо должно было быть любовное.

Этюд этот ознаменовался недоразумением: именно - в число писавших, по ошибке, попал бутафор.

Иван Васильевич, подбодряя выходявших на сцену и плохо зная в лицо новых, поступивших в этом году в подсобляющий состав, вовлек в сочинение воздушного письма юного вихрастого бутафора, мыкавшегося с краю сцены.

- А вам что же, - закричал ему Иван Васильевич, - вам отдельное приглашение посылать? Бутафор уселся на стул и стал вместе со всеми писать в воздухе и плевать на пальцы. По моему, он делал это не хуже других, но при этом как-то сконфуженно улыбался и был красен.

Это вызвало окрик Ивана Васильевича:

- А это что за весельчак с краю? Как его фамилия? Он, может быть, в цирк хочет поступить? Что за несерьезность?

- Бутафор он! Бутафор, Иван Васильевич! - застонал Фома, и Иван Васильевич утих, а бутафора выпустили с миром.

И дни потекли в неустанных трудах. Я перевидал очень много. Видел, как толпа актеров на сцене, предводительствуемая Людмилой Сильвестровной (которая в пьесе, кстати, не участвовала), с криками бежала по сцене и припадала к невидимым окнам.

Дело в том, что все в той же картине, где и букет и письмо, была сцена, когда моя героиня подбегала к окну, увидев в нем дальнее зарево.

Это и дало повод для большого этюда. Разросся этот этюд невероятно и, скажу откровенно, привел меня в самое мрачное настроение духа.

Иван Васильевич, в теорию которого входило, между прочим, открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли и что нужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном тексте, велел всем переживать это зарево.

Вследствие этого каждый бегущий к окну кричал то, что ему казалось нужным кричать.

- Ах, боже, боже мой!! - кричали больше всего.

- Где горит? Что такое? - восклицал Адальберт.

Я слышал мужские и женские голоса, кричавшие:

- Спасайтесь! Где вода? Это горит Елисейев!! (Черт знает что такое!) Спасите! Спасите детей! Это взрыв! Вызвать пожарных! Мы погибли!

Весь этот гвалт покрывал визгливый голос Людмилы Сильвестровны, которая кричала уж вовсе какую-то чепуху:

- О, боже мой! О, боже всемогущий! Что же будет с моими сундуками?! А бриллианты, а мои бриллианты!!

Темнея, как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну и думал о том, что героиня моей пьесы произносит только одно:

- Гляньте... зарево... - и произносит великолепно, что мне совсем неинтересно ждать, пока выучится переживать это зарево не участвующая в пьесе Людмила Сильвестровна. Дикие крики о каких-то сундуках, не имевших никакого отношения к пьесе, раздражали меня до того, что лицо начинало дергаться.

К концу третьей недели занятий с Иваном Васильевичем отчаяние охватило меня. Поводов к нему было три. Во-первых, я сделал арифметическую выкладку и ужаснулся. Мы репетировали третью неделю, и все одну и ту же картину. Картин же было в пьесе семь. Стало быть, если класть только по три недели на картину...

- О господи! - шептал я в бессоннице, ворочаясь на диване дома, - трижды семь... двадцать одна неделя или пять... да, пять... а то и шесть месяцев!! Когда же выйдет моя пьеса?! Через неделю начнется мертвый сезон, и репетиций не будет до сентября! Батюшки! Сентябрь, октябрь, ноябрь...

Ночь быстро шла к рассвету. Окно было раскрыто, но прохлады не было. Я приходил на репетиции с мигренью, пожелтел и осунулся.

Второй же повод для отчаяния был еще серьезнее. Этой тетради я могу доверить свою тайну: я усомнился в теории Ивана Васильевича. Да! Это страшно выговорить, но это так. Зловещие подозрения начали закрадываться в душу уже к концу первой недели. К концу второй я уже знал, что для моей пьесы эта теория неприложима, по-видимому. Патрикеев

не только не стал лучше подносить букет, писать письмо или объясняться в любви. Нет! Он стал каким-то принужденным и сухим и вовсе не смешным. А самое главное, внезапно заболел насморком.

Когда о последнем обстоятельстве я в печали сообщил Бомбардову, тот усмехнулся и сказал:

- Ну, насморк его скоро пройдет. Он чувствует себя лучше и вчера и сегодня играл в клубе на бильярде. Как отрепетируете эту картину, так его насморк и кончится. Вы ждите: еще будут насморки у других. И прежде всего, я думаю, у Елагина.

- Ах, черт возьми! - вскричал я, начиная понимать.

Предсказание Бомбардова и тут сбылось. Через день исчез с репетиции Елагин, и Андрей Андреевич записал в протокол о нем: "Отпущен с репетиции. Насморк". Та же беда постигла Адальберта. Та же запись в протоколе. За Адальбертом - Вешнякова. Я скрежетал зубами, присчитывая в своей выкладке еще месяц на насморки. Но не осуждал ни Адальберта, ни Патрикеева. В самом деле, зачем предводителю разбойников терять время на крики о несуществующем пожаре в четвертой картине, когда его разбойничьи и нужные ему дела влекли его к работе в картине третьей, а также и пятой.

И пока Патрикеев, попивая пиво, играл с маркером в американку, Адальберт репетировал шиллеровских "Разбойников" в клубе на Красной Пресне, где руководил театральным кружком.

Да, эта система не была, очевидно, приложима к моей пьесе, а пожалуй, была и вредна ей. Ссора между двумя действующими лицами в четвертой картине повлекла за собой фразу:

- Я тебя вызову на дуэль!

И не раз в ночи я грозился самому себе оторвать руки за то, что я трижды проклятую фразу написал.

Лишь только ее произнесли, Иван Васильевич очень оживился и велел принести рапиры. Я побледнел. И долго смотрел, как Владычинский и Благосветлов щелкали клинком о клинок, и дрожал при мысли, что Владычинский выколет Благосветлову глаз.

Иван Васильевич в это время рассказывал о том, как Комаровский-Бюнкур дрался на шпагах с сыном московского городского головы.

Но дело было не в этом проклятом сыне городского головы, а в том, что Иван Васильевич все настойчивее стал предлагать мне написать сцену дуэли на шпагах в моей пьесе.

Я отнесся к этому как к тяжелой шутке, и каковы были мои ощущения, когда коварный и вероломный Стриж сказал, что просит, чтобы через недельку сценка дуэли была "набросана".

Тут я вступил в спор, но Стриж твердо стоял на своем. В исступление окончательное привела меня запись в его режиссерской книге: "Здесь будет дуэль".

И со Стрижом отношения испортились.

В печали, возмущении я ворочался с боку на бок по ночам. Я чувствовал себя оскорбленным.

- Небось у Островского не вписывал бы дуэлей, - ворчал я, - не давал бы Людмиле Сильвестровне орать про сундуки!

И чувство мелкой зависти к Островскому терзало драматурга. Но все это относилось, так сказать, к частному случаю, к моей пьесе. А было более важное. Искушаемый любовью к Независимому Театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли. И вот тут подозрения мои перешли, наконец, в твердую уверенность. Я стал рассуждать просто: если теория Ивана Васильевича непогрешима и путем его упражнений актер мог получить дар перевоплощения, то естественно, что в каждом спектакле каждый из актеров должен вызывать у зрителя полную иллюзию. И играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена...

(1936-1937)

## Морфий ("Записки юного врача")

I

Давно уже отмечено умными людьми, что счастье - как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы - как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!

Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год!

Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город? Но если кто-нибудь подобно мне просидел, в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды за 18 верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня.

Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!

И вот я увидел их вновь наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели - вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги, изображение молодого человека со свинными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое.

До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина. Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний!

На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, недалеко призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.

О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! с цейссовским микроскопом, прекрасным запасом красок.

Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом.

Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье...

Сиделки бегали, носились...

Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции... Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? Пожалуйста, вон - низенький корпус, вон - крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложненный

перелом - главный врач-хирург. Воспаление легких? В терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу.

О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном, ходу! Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынувший чай, и сон, после бессонных полутора лет...

Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город с глухого выюжного участка.

II

Пролетел месяц, за ним второй и третий, 17-й год отошел, и полетел февраль 18-го. Я привык к своему новому положению и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы... Неблагодарный! Я забыл свой боевой пост, где я один без всякой поддержки боролся с болезнями, своими силами, подобно герою Фенимора Купера, выбираясь из самых диковинных положений.

Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь... скрип саней... короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях... Потом все это боком кувыркалось и проваливалось...

"Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте?.. Кто-нибудь да сидит... Молодой врач вроде меня... ну, что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель... ну, и, скажем, май - и конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня на свое крыло - придется, возможно, еще поездить... но, во всяком случае, своего участка я более никогда в жизни не увижу... Никогда... Столица... Клиника... Асфальт, огни..."

Так думал я.

"...А все-таки хорошо, что я пробыл на участке... Я стал отважным человеком... Я не боюсь... Чего я только не лечил?! В самом деле? А?.. Психических болезней не лечил... Ведь... верно нет, позвольте... А агроном допился тогда до чертей... И я его лечил, и довольно неудачно... Белая горячка... Чем не психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию... Да ну ее... Как-нибудь впоследствии в Москве... А сейчас, в первую очередь, детские болезни... и еще детские болезни... и в особенности эта каторжная детская рецептура... Фу, черт... Если ребенку 10 лет, то, скажем, сколько пирамидону ему можно дать на прием? 0,1 или 0,15?.. Забыл. А если три года?.. Только детские болезни... и ничего больше... довольно умопомрачительных случайностей! Прощай, мой участок!.. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову?.. Зеленый огонь... Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь... Ну и довольно... Спать..." - Вот письмо. С оказией привезли. - Давайте сюда. Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником было накинуто поверх белого халата с клеймом. На синем дешевом конверте таял снег. - Вы сегодня дежурите в приемном покое? - спросил я, зевая. - Я. - Никого нет? - Нет, пусто. - Ешли... (зевота раздирала мне рот, и от этого слова я произносил неряшливо) кого-нибудь привезут... вы дайте мне знать шюда... Я лягу спать... - Хорошо. Можно иттить? - Да, да. Идите. Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно и криво раздирая пальцами конверт. В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы... Незабываемый бланк... Я усмехнулся.

"Вот интересно... весь вечер думал об участке, и вот он явился сам напомнить о себе... Предчувствие..."

Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые...

- Ничего не понимаю... Путаный рецепт...- пробормотал я и уставился на слово "morphini...". "Что бишь тут необычайного в этом рецепте?.. Ах да... Четырехпроцентный раствор! Кто же выписывает четырехпроцентный раствор морфия?.. Зачем?!"

Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано:

"11 февраля 1918 года.

Милый collega!

Извините, что пишу на клочке. Нет под руками бумаги. Я очень тяжело и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме Вас.

Второй месяц я сижу на бывшем Вашем участке, знаю, что Вы в городе и сравнительно недалеко от меня.

Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу Вас приехать ко мне поскорее. Хоть на день. Хоть на час. И если Вы скажете, что я безнадежен, я Вам поверю... А может быть, можно спастись?.. Да, может быть, еще можно спастись?.. Надежда блеснет для меня? Никому, прошу Вас, не сообщайте о содержании этого письма".

- Марья! Сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку... как ее зовут?.. Ну, забыл... Одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Поскорее!

- Счас.

Через несколько минут сиделка стояла передо мной и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника.

- Кто привез письмо?

- А не знаю я. С бородой. Кооператор он. В город ехал, говорит.

- Гм... ну, ступайте. Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу, отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните.

- Хорошо.

Моя записка главному врачу:

- 13 февраля 1918 года.

Уважаемый Павел Илларионович. Я сейчас получил письмо от моего товарища по университету доктора Полякова. Он сидит на (\*152) Гореловском моем бывшем участке в полном одиночестве. Заболел по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Родовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен.

Уважающий Вас

д-р Бомгард".

Ответная записка главного врача:

"Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте.

Петров".

Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. Добраться до Горелова можно было таким образом: завтра выехать в два часа дня с московским почтовым поездом, проехать 30 верст по железной дороге, высадиться на станции N, а от нее двадцать две версты проехать на санях до Гореловской больницы.

"При удаче я буду в Горелове завтра ночью,- думал я, лежа в постели.- Чем он заболел? Тифом, воспалением легких? Ни тем, ни другим... Тогда бы он и написал просто: "я заболел воспалением легких". А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо... "Тяжко... и нехорошо заболел..." Чем? Сифилисом? Да, несомненно, сифилисом. Он в ужасе... он скрывает... он боится... Но на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду в Горелово? Плохой номер выйдет, как приедешь на станцию в сумерки, а добраться-то будет и не на чем... Ну, нет. Уж я найду способ. Найду у кого-нибудь лошадей на станции. Послать телеграмму, чтоб он выслал лошадей! Ни к чему! Телеграмма придет через день

после моего приезда... Она ведь по воздуху в Горелово не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово. О, медвежий угол!"

Письмо на бланке лежало на ночном столике в круге света от лампы, и рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, с щетиной окурков, пепельница. Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать.

В самом деле: если ничего острого, а, скажем, сифилис, то почему он не едет сюда сам? Зачем я должен нестись через вьюгу к нему? Что, я в один вечер вылечу его от люэса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой там рак! Он на два года моложе меня. Ему 25 лет... "Тяжко..." Саркома? Письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень... И вот она налицо. Стягивает жилку на виске... Утром проснешься, стало быть, и от жилки полезет вверх на темя, скует полголовы, и будешь к вечеру глотать пирамидон с кофеином. А каково в санях с пирамидоном?! Надо будет у фельдшера шубу взять разъездную, замерзнешь завтра в своем пальто... Что с ним такое?.. "Надежда блеснет..." - в романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах!.. Спать, спать... Не думать больше об этом. Завтра все станет ясно... Завтра".

Я привернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать... Жилка ноет... Но я не имею права сердиться на человека за нелепое письмо, еще не зная, в чем дело. Человек страдает по-своему, вот, пишет другому. Ну, как умеет, как понимает... И недостойно из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы мысленно... Может быть, это и не фальшивое и не романтическое письмо. Я не видел его, Сережку Полякова, два года, но помню его отлично. Он был всегда очень рассудительным человеком... Да. Значит, стряслась какая-то беда... И жилка моя легче... Видно, сон идет. В чем механизм сна?.. Читал в физиологии... но история темная... не понимаю, что значит сон... как засыпают мозговые клетки?! Не понимаю, говорю по секрету. Да почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твердо уверен... Одна теория стоит другой... Вон стоит Сережка Поляков в зеленой тужурке с золотыми пуговицами над цинковым столом, а на столе труп... Хм, да... ну, это сон... Ш Тук, тук... Бух, бух, бух... Ага... Кто? Кто? Что?.. Ах, стучат, ах, черт, стучат... Где я? Что я?.. В чем дело? Да, у себя в постели... Почему же меня будят? Имеют право потому, что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон Марья зашлепала к двери открывать. Сколько времени? Половина первого... Ночь. Спал я, значит, только один час. Как мигрень? Налицо. Вот она! В дверь тихо постучали. - В чем дело? Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены.

- Кого привезли?

- Доктора с Гореловского участка,- хрипло и громко ответила сиделка,- застрелился доктор.

- По-ля-ко-ва? Не может быть! Полякова?!

- Фамилии-то я не знаю.

- Вот что... Сейчас, сейчас иду. А вы бегите к главному врачу, будите его, сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой.

Сиделка метнулась - и белое пятно исчезло из глаз.

Через две минуты злая вьюга, сухая и колючая, хлестнула меня по щекам на крыльце, вздула полы пальто, оледенила испуганное тело.

В окнах приемного покоя полыхал свет белый и беспокойный. На крыльце в туче снега я столкнулся со старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я.

- Ваш? Поляков? - спросил, покашливая, хирург.

- Ничего не пойму. Очевидно, он,- ответил я, и мы стремительно вошли в покой.

С лавки навстречу - поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марию Власьевну, акушерку из Горелова, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице.

- Поляков? - спросил я.

- Да,- ответила Марья Власьевна,- такой ужас, доктор, ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довести...

- Когда?

- Сегодня утром на рассвете,- бормотала Марья Власьевна,- прибежал сторож, говорит... "у доктора выстрел в квартире..."

Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков, и с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные ступни валенок у меня привычно екнуло сердце.

Шапку с него сняли - и показались слипшиеся, влажные волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывавшимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул, пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы впрыснуть камфару. Тут раненый расклеил губы, причем на них показалась розоватая кровавая полоска, чуть шевельнул синими губами и сухо, слабо выговорил:

- Бросьте камфару. К черту.

- Молчите,- ответил ему хирург и толкнул желтое масло под кожу.

- Сердечная сумка, надо полагать, задета,- шепнула Марья Власьевна, цепко взялась за край стола и стала всматриваться в бесконечные веки раненого (глаза его были закрыты). Тени серо-фиолетовые, как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев носа, и мелкий, точно ртутный, пот росой выступал на тенях.

- Револьвер?- дернув щекой, спросил хирург.

- Браунинг,- пролепетала Марья Власьевна.

- Э-эх,- вдруг, как бы злобно и досадуя, сказал хирург и вдруг, махнув рукой, отошел.

Я испуганно обернулся к нему, не понимая. Еще чьи-то глаза мелькнули за плечом. Подошел еще один врач.

Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение! Марья Власьевна болезненно сморщилась, вздохнула.

- Доктора Бомгарда,- еле слышно сказал Поляков.

- Я здесь,- шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ.

- Тетрадь вам...- хрипло и еще слабее отозвался Поляков.

Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в темь потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу.

Доктор Поляков умер.

Ночь. Близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит и току электрического много. Все Молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь.

На столе перед воспаленными от чтения глазами лежат вскрытый конверт и листок. На нем написано:

"Милый товарищ!

Я не буду Вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересуется вас, прочтите историю моей болезни.

Прощайте. Ваш С. Поляков".

Приписка крупными буквами:

"В смерти моей прошу никого не винить.

Лекарь Сергей Поляков.

13 февраля 1918 года".

Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих тетрадей в черной клеенке. Первая половина страниц из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи, вначале карандашом или чернилами, четким мелким почерком, в конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым красным, почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами.

## Андрей Вознесенский

### Об авторе:

#### Андрей Вознесенский: Я не тихушник и другим не советую<sup>85</sup>

*Он один из крупнейших поэтов XX века, и этого статуса не станут сегодня оспаривать даже заядлые его ругатели. Он давно в том статусе, когда любое высказывание предваряется оговоркой: «Вознесенский, конечно, большой поэт, но...» А по-моему, и без всяких но. Вознесенский до сих пор интересен: то, что он умудряется писать, героически сражаясь с болезнью, – поражает свежестью, темпераментом и хваткой. Но, помимо всякой эстетики, поражает мужество, с которым он встречает испытания последних лет: он, вечно упрекаемый то в легковесности, то в истеричности, то в самолюбовании. Я не знаю в последнее время более убедительного примера героизма – по крайней мере в литературе.*

*«Люди же смотрят»*

*– Андрей Андреевич, прежде всего примите мое восхищение. Вы доказываете, что поэт – звание, и подтверждать его надо не только текстами, но и личным мужеством.*

*– Тут восхищаться незачем, это норма. После того как держался раненый Пушкин, после героических последних месяцев Пастернака – что добавишь? Я в относительном комфорте, меня не травят, слава Богу, отношения с царем выяснять не надо... Две мучительные вещи – приступы, когда теряешь голос, и почти постоянная боль. Поэту трудно без голоса. Я всегда любил читать, многие вещи рассчитаны на устное исполнение. Это надо произносить, или петь, или молиться вслух – все это вещи голосовые. А боль плоха тем, что не вырабатывается привычка, нельзя приспособиться. Но есть навык, я умею сопротивляться – что-то бормочешь про себя, стихи и тут помогают. И кстати, вот эти вечные упреки в эстрадности, которые сопровождали наше поколение с первых шагов. Они вызывались, конечно, тем, что все эти чтения у памятника Маяковскому, а потом стадионные овации и вечера с конной милицией воспринимались политически, а был ведь у этого один важный человеческий аспект, о котором мало говорят. Шумная слава, все ее ругают, она якобы ужасно вредит, но по крайней мере в одном смысле она хорошо влияет на судьбу: когда на тебя устремлено много глаз, у тебя сильный стимул вести себя по-человечески. Больше шансов не сподличать. Соблазн – в хорошем смысле – сделать красивый жест, совершить приличный поступок: люди же смотрят! И враги тоже смотрят. Поэтому улыбайтесь.*

---

85 Андрей Вознесенский: Я не тихушник и другим не советую: интервью. // Собеседник №8. Быков Дмитрий. 10 марта 2010 - [http://sobesednik.ru/interview/sobes\\_8\\_10\\_voznesenskiy](http://sobesednik.ru/interview/sobes_8_10_voznesenskiy)

*Пример нашего поколения тут довольно убедителен: среди тех, кого действительно знали, за кем следили, – никто не замечен в подлости. Ошибались все. Приличия помнили тоже все.*

*– Кстати, о «Соблазне» – лучший ваш сборник, по-моему.*

*– Не знаю, лучший ли, но из всех своих периодов я действительно больше люблю вторую половину семидесятых и, может быть, кое-что из поздних девяностых, из того, что вошло в том собрания, обозначенный «Пять с плюсом». Там уже чистый авангард, без заботы о том, что скажут.*

*– Спрашивал вас об этом двадцать лет назад и повторю сейчас: не разочаровались ли вы в авангарде? Во-первых, кое-где он выродился в прямое сотрудничество с государством, как у футуристов. А во-вторых – выродился, и я не знаю, продолжится ли...*

*– Что касается сотрудничества с государством – это изнанка общего футуристического проекта переделки жизни. Искусство не для того выходит на площадь, чтобы показывать себя: оно идет переделывать мир. Это прямое продолжение модерна, нормальная линия – кончился образ художника-алхимика, затворника, началась прямая переделка Вселенной. «Кроится миру в черепе». Это было и на Западе, не только у нас, и вторая молодость авангарда – шестидесятые, битничество – продолжение той же утопии. А в России это совпало с революцией, отсюда упования на государство, на утопию, – утопия вообще для искусства вещь довольно плодотворная. А наоборот – не очень. Пока человек чувствует, что он все может и будущее принадлежит ему, он менее склонен к подлостям, чем если чувствует себя винтиком. Авангард предъявляет к человеку великие требования. И сейчас скажу то же, что и двадцать лет назад: ничего более живого в искусстве XX века не было, из русского и европейского футуризма выросло все великое, что этот век дал. Русская провинция продолжает давать прекрасные молодые имена, потому что футуристична по своей природе. Там без утопии не проживешь. Противопоставление авангарда и традиции, кстати, ложно – по крайней мере в России. Авангард с его максимализмом и есть русская традиция. «Слово о полку Игореве» как будто футуристы писали. Плакаты авангардистов, в том числе богоборца Маяковского – не атеиста ни в каком случае! – восходят к иконе. Авангарднее русского фольклора вообще ничего нет – рэп шестнадцатого века.*

*«Лучшие умерли рано»*

*– Но те молодые, которых вы благословляли (с избыточной щедростью, по-моему), они оправдали ваши ожидания?*

*– Тут избыточной щедрости не бывает: ругать будут без меня. И я не сторонник теории, что ругань полезна. «Когда ругают – везет», есть примета, но это придумано в самоутешение. На самом деле из тебя ногами выбивают легкость и радость, вот и все. Все талантливые поэты, которых я знал, предпочитали перехвалить, чем недохвалить: это касалось и Кирсанова, и Асеева, которых в свое время так же искренне перехваливал Маяковский, а тот начал с того, что его назвал гением Бурлюк. Не бойтесь сказать «гений», бойтесь не разглядеть гения – несостоявшихся великих в России больше, чем мы себе представляем. И мне очень редко приходилось разочаровываться в тех, кого я поддержал, – почти никогда. Страшно только, что именно они – настоящие – чаще платят за предназначение: ранний уход Нины Искренко, Алексея Парщикова, Александра Ткаченко – это как раз доказательства того, что поэт платит дорого. Особенно если преодолевает сопротивление материала.*

*– А сами вы предполагали дожить до 75?*

– Я никогда в жизни всерьез не принимал эту цифру, мне и 70 уже казались нереальными. Но нам повезло в том смысле, что во второй половине пятидесятых над нами будто разверзлись небеса и какой-то луч ударил. Облученные этой энергией, мы оказались крепче, чем сами рассчитывали. Ранняя слава, ранний счастливый шок от вдруг раскрывшихся границ, от огромных аудиторий – это добавляет живучести. В 70-е все это резко потускнело, обернулось депрессиями, запоями, но облучение не смоешь. Я замечал такой же запас жизненных сил в людях, облученных двадцатými годами: в Алексее Крученых даже после восьмидесяти лет сидел подросток. Марк Шагал. Эренбург. Лиля Брик. Пикассо. Люди таких эпох, если не становятся их жертвами, живут потом до ста, сохраняя ясный ум и крепость.

– Кстати, вы хорошо знали Лилю Брик – в какой степени справедливы упреки, что она не любила Маяковского по-настоящему, использовала его и т.д.?

– Эти упреки исходят главным образом от людей, которые любят Маяковского – или думают, что любят – сильно и ревниво, и чужая любовь им становится невыносима. Они ссорят его с большинством друзей, думая, что, оказавшись они рядом, любили бы его больше и правильней. Ссорить поэтов – вообще любимое занятие непоэтов, и круг Маяковского распался не в последнюю очередь поэтому... Он ее любил, ее было за что любить, она и в старости производила ослепительное впечатление, и не было никакой старости, потому что она покончила с собой именно из нежелания доживать инвалидом. При этом она мне рассказывала страшные вещи – вроде того, что они с Осей занимались любовью, а Володя плакал на кухне и ломился в дверь, – но думаю, это был эпатаж. Она много раз недвусмысленно написала, что никогда не совмещала любовников, что к началу романа с Маяковским близости с Осей уже не было. Иногда она проверяла собеседника, говоря резкости или притворяясь страшней, чем была. Но, в общем, все эти мечты, чтобы поэт выбирал себе правильную подружку... Маяковский сделал идеальный выбор. Хотя и Татьяна Яковлева ему была вровень.

«Аксенов – взрыв любви»

После выхода последнего романа Василия Аксенова – «Таинственная страсть» – личная жизнь шестидесятников опять в центре внимания: некоторые обижаются, а как вы? И что там правда?

– Бог мой, ну кто от Аксенова ждет фактов? А в байки Довлатова кто верит? Жанр байки не предполагает достоверности. Довлатов был великолепный рассказчик, иногда анекдотчик, это тоже требует класса. А Василий Аксенов был поэт, крупный, без скидок, проза его – белый, а иногда рифмованный стих, ритм ее поэтический, «Таинственная страсть» не исключение, он всех нас сделал героями эпической поэмы. В «Илиаде» что, много фактографии? Совпадает общий каркас: ахейцы брали Трои. Видно, с какой любовью это все написано, видно, до чего он в том времени был счастлив и как выл, когда оно кончилось, – я во многом там себя узнаю, но поскольку я меньше бывал в Коктебеле и не так часто запивал, близость с друзьями была скорей заочная. Если кому-то плохо или кого-то травят – все перезванивались; если у кого-то удача – списывались; если кто-то не так сказал или написал – можно было напрямую позвонить, но в этом вихре попок и свиданок я себя не помню, мой постоянный круг был скорее так называемые технари, физики, круг Крымской обсерватории и Дубны, Новосибирска еще... Но история написания «Озы», которую я и сейчас считаю лучшей своей вещью в шестидесятые, – там вполне точно изложена, просто это точность не дословная, не биографическая. Он же не мемуары писал. Это дошедший до нас взрыв любви. Вот как звезда взрывается, ее уже нет, а взрыв виден. Совершенно целебная проза, излечивающая. Какой заряд силы в нем сидел, и сколько еще он мог!

– Упомянутые вами физики куда-то делись, и техническая утопия у них не получилась – а сколько было надежд!

– Как «куда-то»? Из них получилось почти все диссидентское движение. В нем не гуманитарии преобладали. Сахаров – из них. Эти люди получились очень интересно: вообще ведь диссидент чаще всего получается из элиты, из слоя верхнего, избалованного, где у него есть возможность всему научиться, где царят идеальные отношения, где нет иссушающей заботы о куске: всех этих принцев сталинской эпохи в тридцать седьмом осиротили, и получилось поколение диссидентов. А были еще советские принцы пятидесятых, ядерщики и прочие оборонщики, которые купались в государственной любви, которые были элитой в греческом смысле – культуру знали, за поэзией следили, жили пусть в закрытых, но теплицах... И потом они вдруг поняли, что служат дьяволу. Так и сформировалось это движение – физикам же больше присуща умственная дисциплина, гуманитарий разбросан, «пугливое воображение»... Сахаров потому и стал его вождем, что – физик, другая организация ума и другая степень надежности. Потом по-разному у всех сложилось, кто-то уехал, кто-то разочаровался, но в общем я не видел в жизни лучшей среды.

– Кстати, кто такая Светлана Попова, памяти которой посвящен «Лед-69»?

– Студентка-биолог, я ее не знал никогда. Мне ее мать написала, что она погибла в турпоходе, что любила мои стихи... Я ее представляю только по фотографии. Мне рассказали, что она, когда они попали в пургу, читала что-то мое, чтобы подбодрить остальных.

– Вы действительно стоите несколько особняком среди шестидесятников – о ваших громких романах известно мало, в попойках вы не замечены... Это свойство темперамента или позиция такая – дальше от скандалов?

– Дальше от скандалов у меня никогда не получалось, хотя я дорого дал бы, чтобы их не было. Они привлекают внимание к автору, но отвлекают – от стихов. Сказать, чтобы я скрывал личную жизнь... в стихах было столько откровенного, что мне-то казалось – я и так слишком открыт. Мы в самом деле жили на виду. Что касается публичных выяснений отношений или тем более запоев – здесь я, пожалуй, и рад выделяться: мне с избытком хватало скандалов с властями или критиками. Надо же чем-то выделяться в чередовании современников – я здесь за то, чтобы выделяться относительной смирительностью в быту. Хотя по меркам семидесятых годов иностранный пиджак уже был повод для скандала, а шейный платок – безумный вызов. Кого сейчас этим удивишь? Даже самые отъявленные ньюсмейкеры шестидесятых по сегодняшним меркам – школьники.

– Воображаю, как вы относитесь к светским персонажам нулевых.

– Очень хорошо. Во всяком случае, к некоторым. У нас так устроено общество, что в центре внимания – чаще всего недоброжелательного – оказывается яркость. А потом начинается травля, и эта травля формирует, между прочим, не худшие характеры. Нет, я этих ребят люблю. Советская власть любила учить скромности. А между тем об истинной скромности она понятия не имела. Она называла скромностью тихушничество – способ поведения карьеристов, подлецов, тихонь. Я не тихушник и другим не советую.

Хорошие дома на плохой улице

– Сейчас о советской власти опять заспорили, потому что ни одна оценка, видимо, не может в России считаться окончательной. Вы с каким чувством думаете о советском проекте?

– А тут однозначной оценки быть не может, потому что и советская власть была неоднородна. Для меня самый наглядный символ советских лет – это дом Пастернака на улице Павленко в Переделкино. Понимаете, улица была – Павленко, соцреалиста и, в общем, сталинского холуя, со всеми приступами сомнения и раскаяния и даже с проблесками одаренности. Но дом на ней стоял – Пастернака, и улица эта тем будет памятна. На огромной улице советского проекта стоят дома великих людей, которым выпало внутри этого проекта родиться. Они с ним взаимодействовали, они в него приносили свое, и если дома были увешаны лозунгами из Маяковского, то вместе с довольно плоским смыслом они в самом ритме транслировали его бунт. Я не буду зачеркивать большую часть своей жизни. Я при советской власти не каялся, когда у меня находили антисоветчину, и за советчину каяться не намерен. Меня ни та ни другая цензура не устраивает. Видеть в русском XX веке один ад или одну утопию – занятие пошлое. Когда тебя спросят, что ты сделал, – ссылок на время не примут. Здесь Родос, здесь прыгай.

– Почему все-таки выдохлась оттепель? Ее прикрыли или она сама закончилась по внутренним причинам?

– Я думаю, ее бы никто не смог прикрыть, если бы она развивалась. Но она именно выдохлась, и это понимают немногие – было видно тогда, изнутри. Тогда, насколько помню, Аннинский об этом написал. Антисталинский посыл закончился довольно рано – все уже было сказано на XX съезде. Надо было идти дальше. Чтобы дальше идти, нужно было опираться на что-то более серьезное, чем социализм с человеческим лицом, – или на очень сильный, совершенно бесстрашный индивидуализм, или на религию. У меня, как почти у всех, был серьезный кризис взросления, но он случился раньше официального конца оттепели, задолго до таких ее громких вех, как процесс Синявского и Даниэля или танки в Праге. Думаю, это был год шестьдесят четвертый. Выход был – в религиозную традицию, в литургические интонации, но это не столько моя заслуга, сколько генетическая память, которая подсказала их. Вознесенские – священнический род. Мне кажется, я после оттепели писал интересней. Хотя в «Мозаике» особенно стыдиться нечего.

– Предчувствия катаклизмов у вас сейчас нет?

– Сейчас – нет, есть предчувствие, что меняться будет мало что. Сейчас время внутренних перемен. Человек – это не то, что сделало из него время, а что сделал из себя он сам.

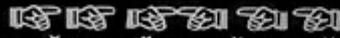
## Визуальная поэзия

### Видеомы

Вознесенский **строил** свои композиции из букв, и эти стихи лучше не читать, а рассматривать, пытаясь понять, как это сделано (т.е. оценивать как архитектурную конструкцию), и находить в них неожиданные и интересные превращения.



думай 

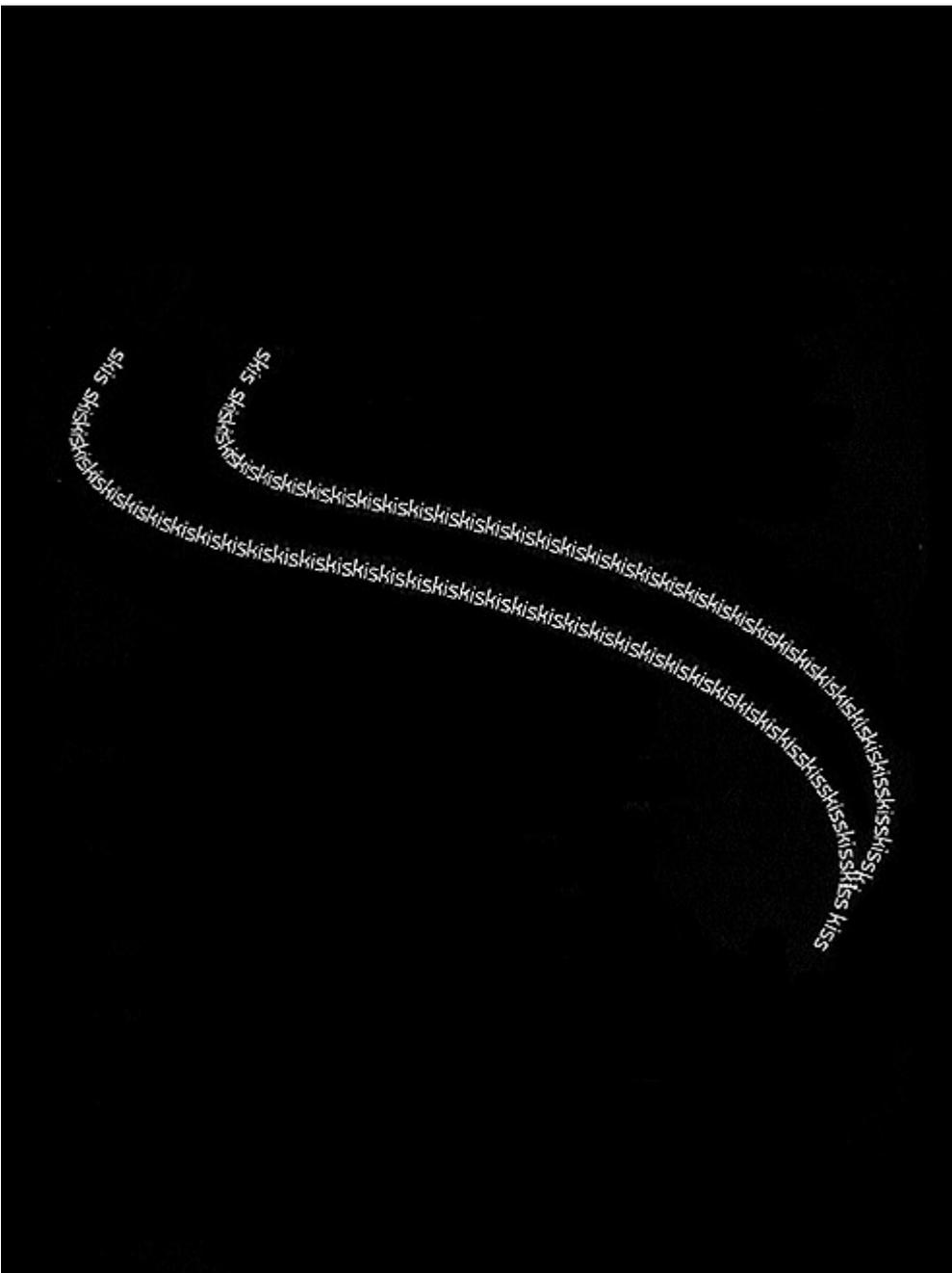






Мошкара — мошкара-мошкарамошкарамошка-  
каромашкаромашка как золотая спрессованная пыльца,  
перепархивая буквочками, кружилась перед фарой — мош-  
кара, мошкарамошка-ромашкаромашкаро-машка — кош-  
марная ромашка памяти!..







Я

башня

Сухарева

боярышня

суриковская

пессуничья

тектенная мазуриками

с ромбам и кубиками

На Сухаревой башенке

Иван Великий женится

В Москве землетрясение

как брачная кровать

спайте лица сооружению

на бежке хоромам

сто лет стоять

Иван Великий женится

на Сухаревой башенке

я ее строитель Черлоков

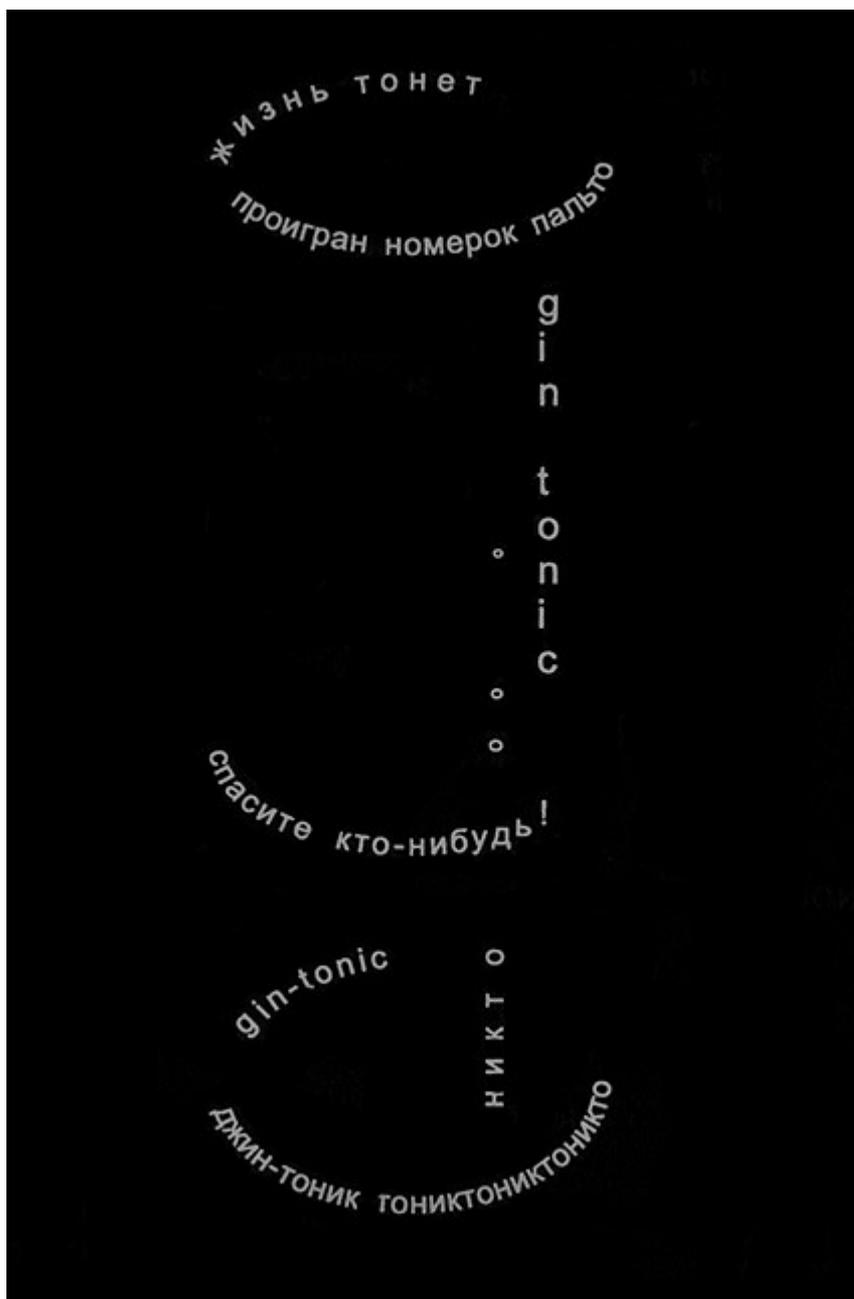
красные дороженьки застелить велите!

почему ж повалены миллионы толп?

.....

С Ух! рух  
вера а-а рев

По Сухаревой башне рыдай, Иван Великий!  
Над Москвой белеет овдовевший столп.

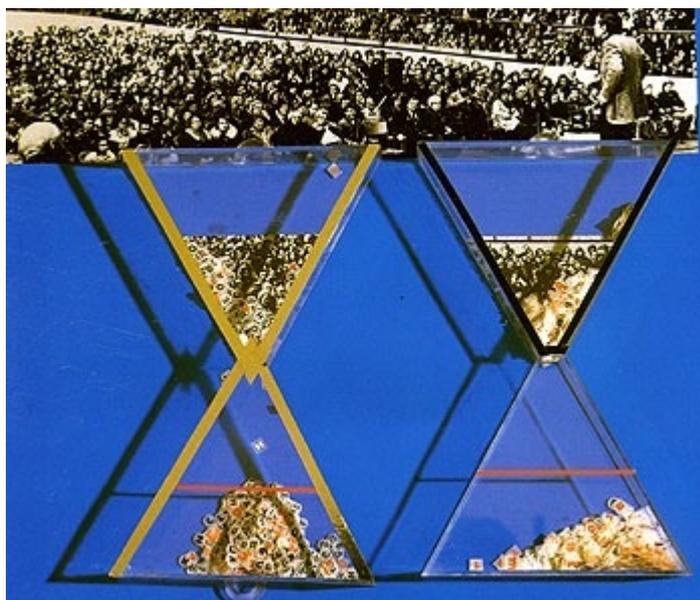


\*\*\*

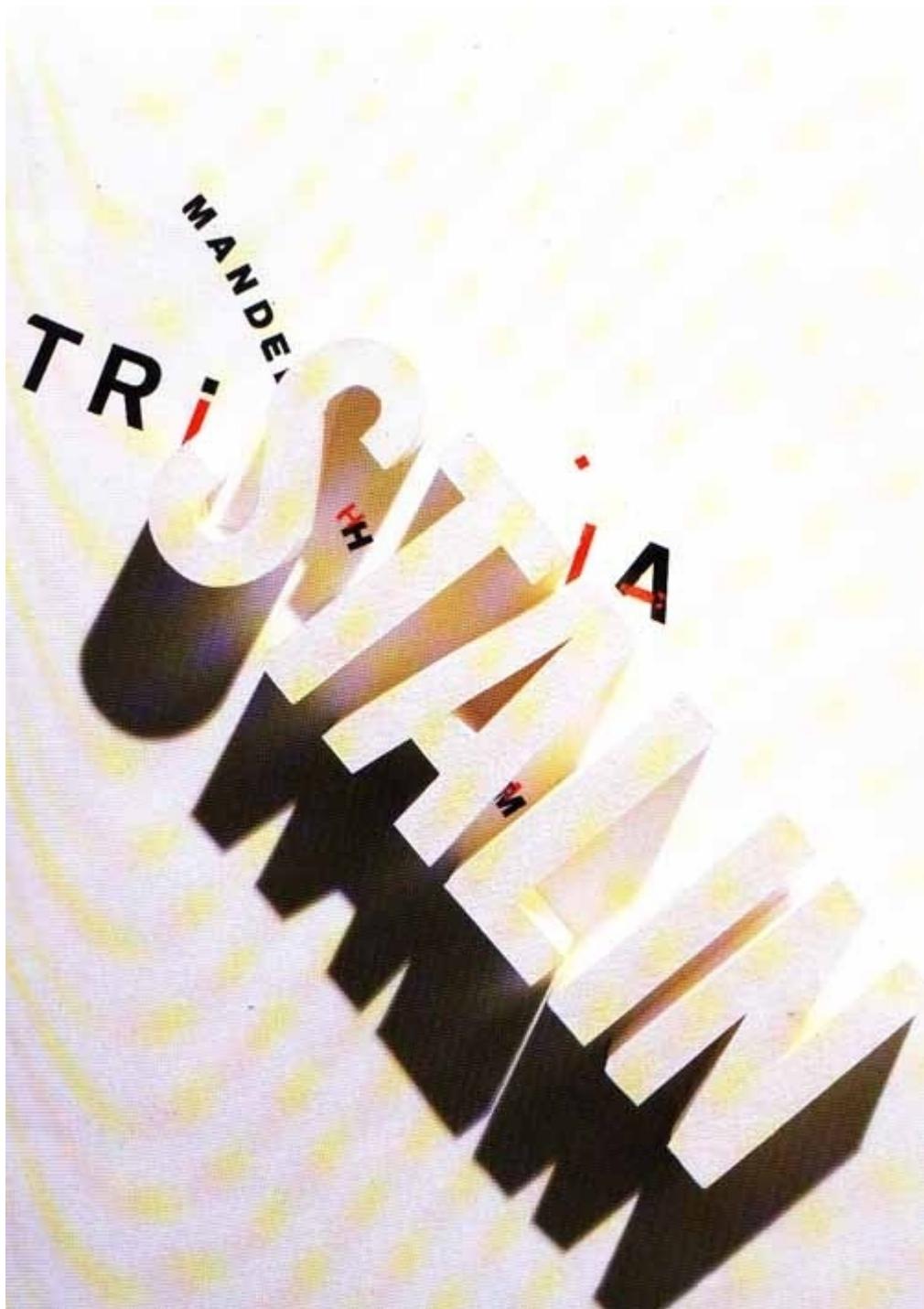
Андрей Вознесенский экспериментировал в области художественной формы. Он создавал "видеомы", в которых стихи совмещались с рисунками, фотографиями, шрифтовыми композициями. Он считал, что такая визуальная поэзия соединяет зрительное восприятие с духовным.



Автопортрет



Автопортрет. Стадион



**Из интервью корреспонденту "Известия" Наталье Кочетковой:**

- Все говорят, что моя поэзия очень визуальна и метафорична. Есть идеологическое инакомыслие, которое еще могло пройти, если поменять конец или что-то изменить. Художественное же инакомыслие воспринималось всегда в штыки. В качестве образца такого новаторства называли поэму "Мастера", стихотворение "Я - Гойя". Все это было связано с живописью. Изобразительный образ шел параллельно поэтическому.



Пастернак

- Своей первой видеомой я считаю плакат, нарисованный к столетию Пастернака, где он распят, как Христос. Тогда это выглядело довольно непривычно, издательство даже испугалось ставить свое название на постере.



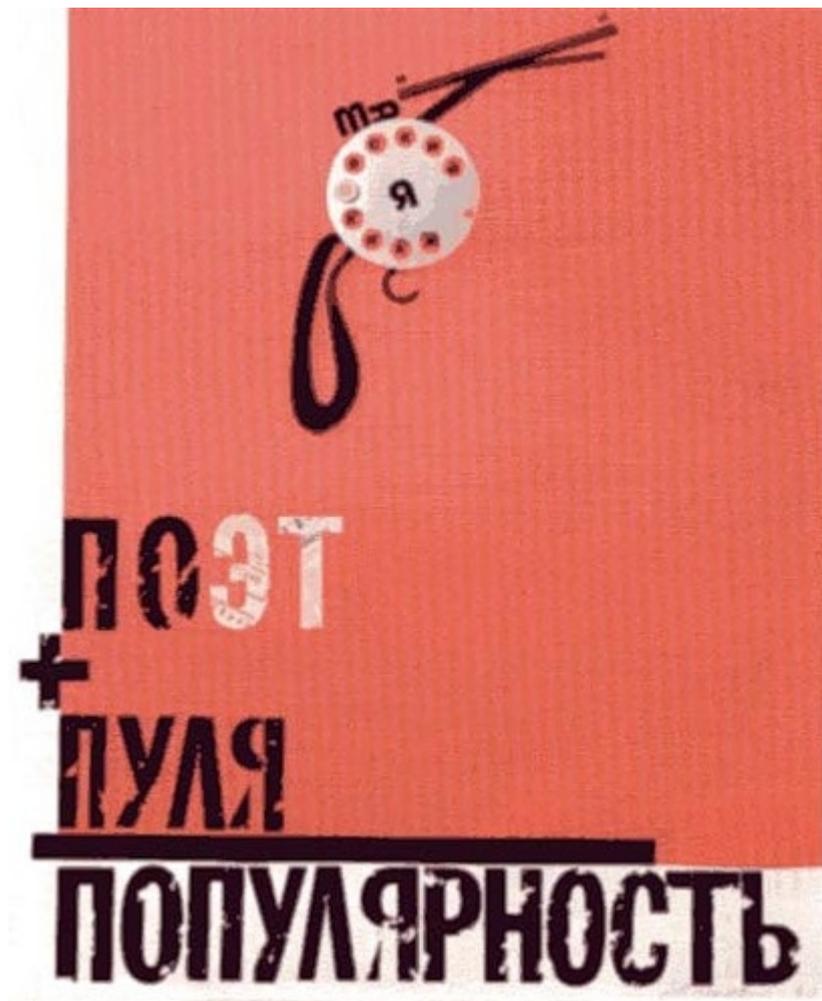
## Век Пастернака

- Никакое другое искусство не находится столь близко к поэзии, как изобразительное, и чаще всего те образы и метафоры, которые не могут до конца выразиться словами, выражаются в этом.



Пастернак

- Когда появились видеомы, это стало своего рода концентрацией поэтического. Поэтому в видеомах фигурируют поэты: Ахматова, Есенин, Маяковский, Мандельштам. Это попытка метафорически, изобразительно прочесть поэта.



Точка пули.



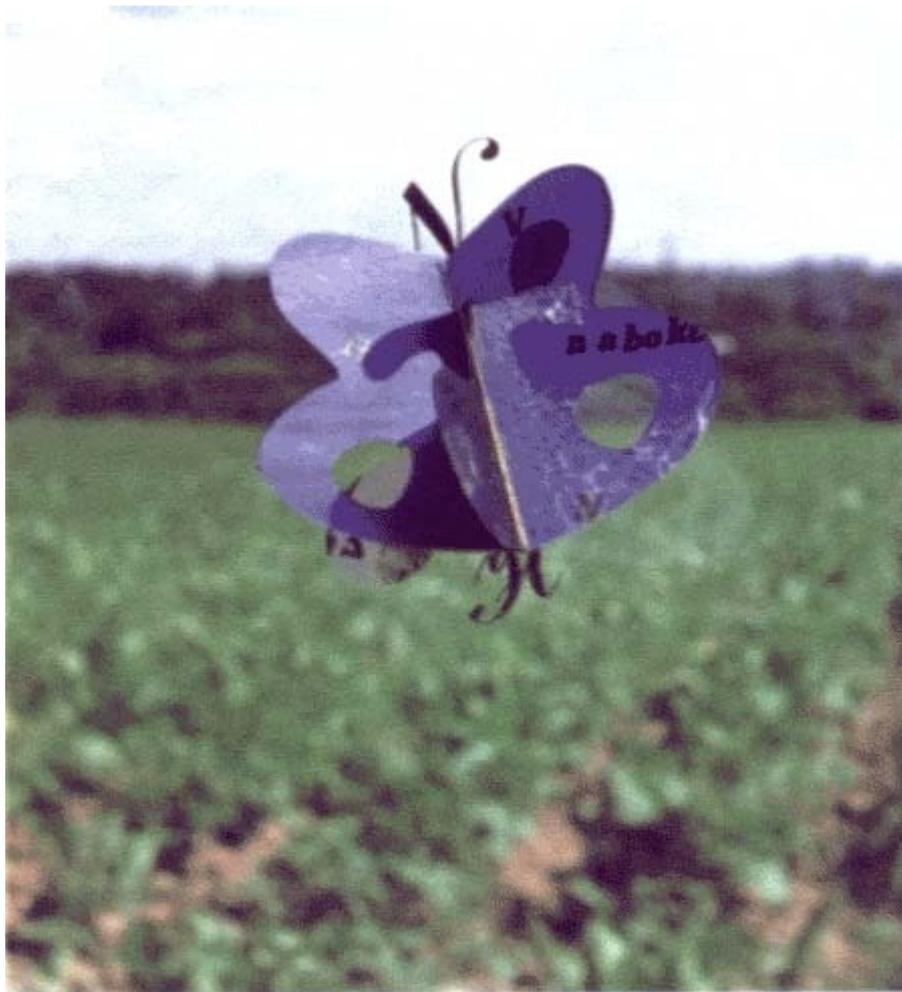
ГУМИЛЁВ



Анна Ахматова



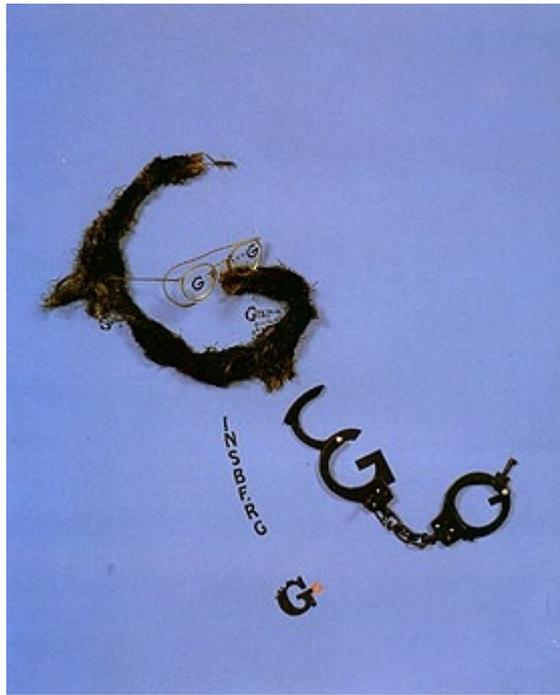
Осы Осипа



Набоков



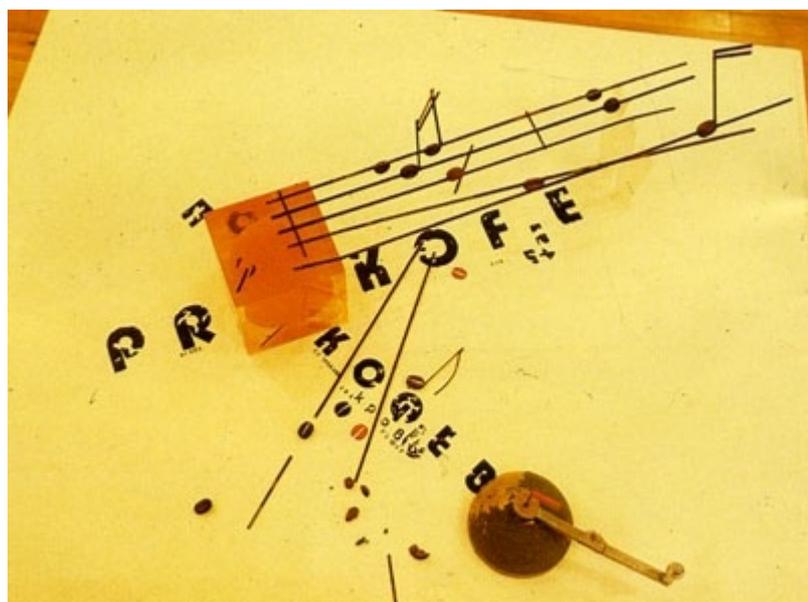
Северянин



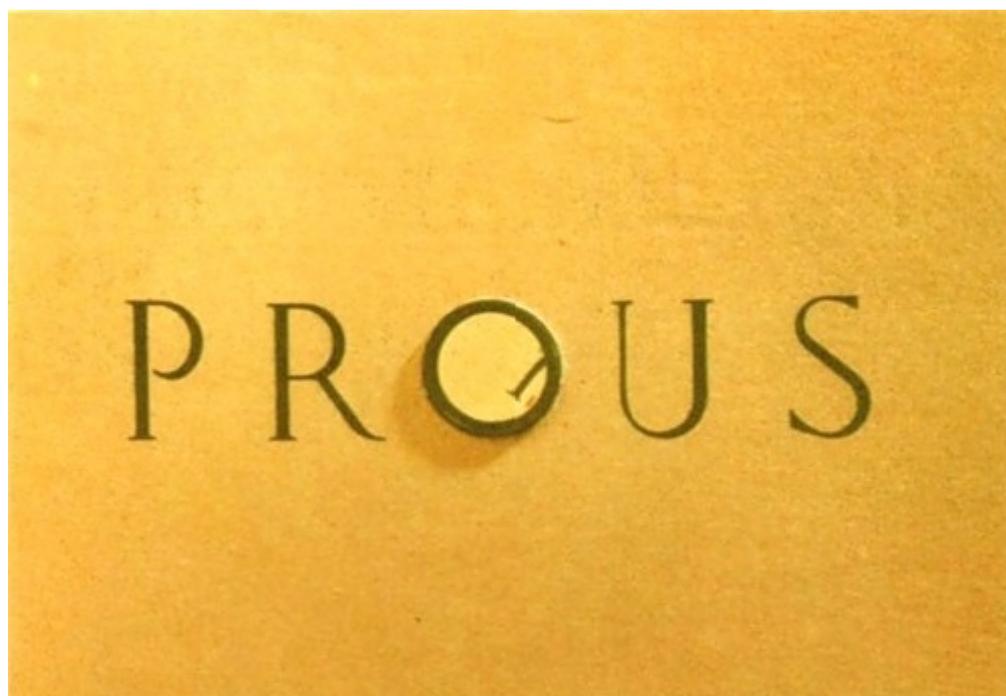
Grinsburg

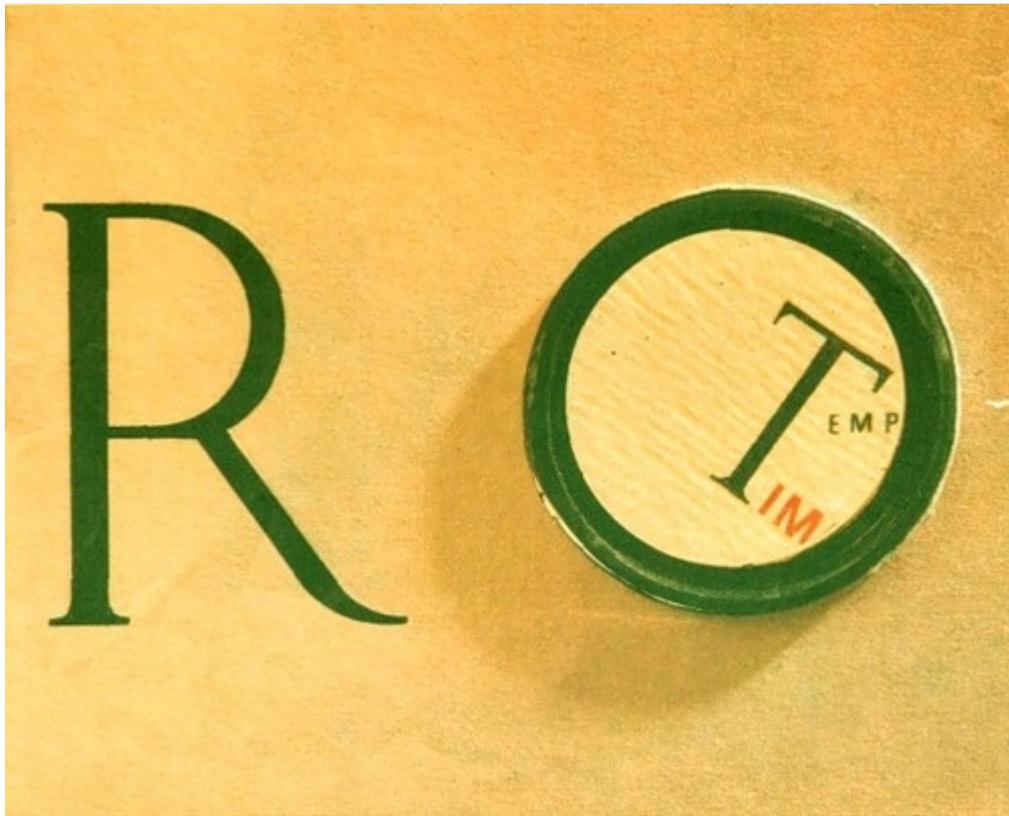


Bernstein

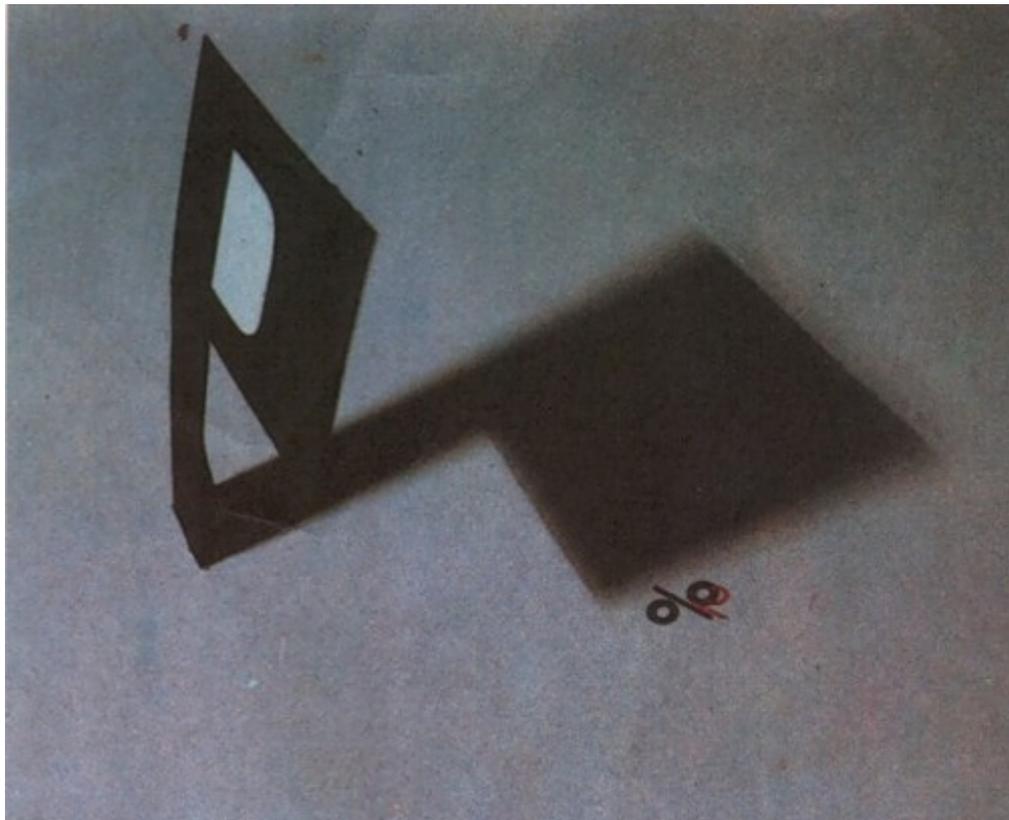


Прокофьев

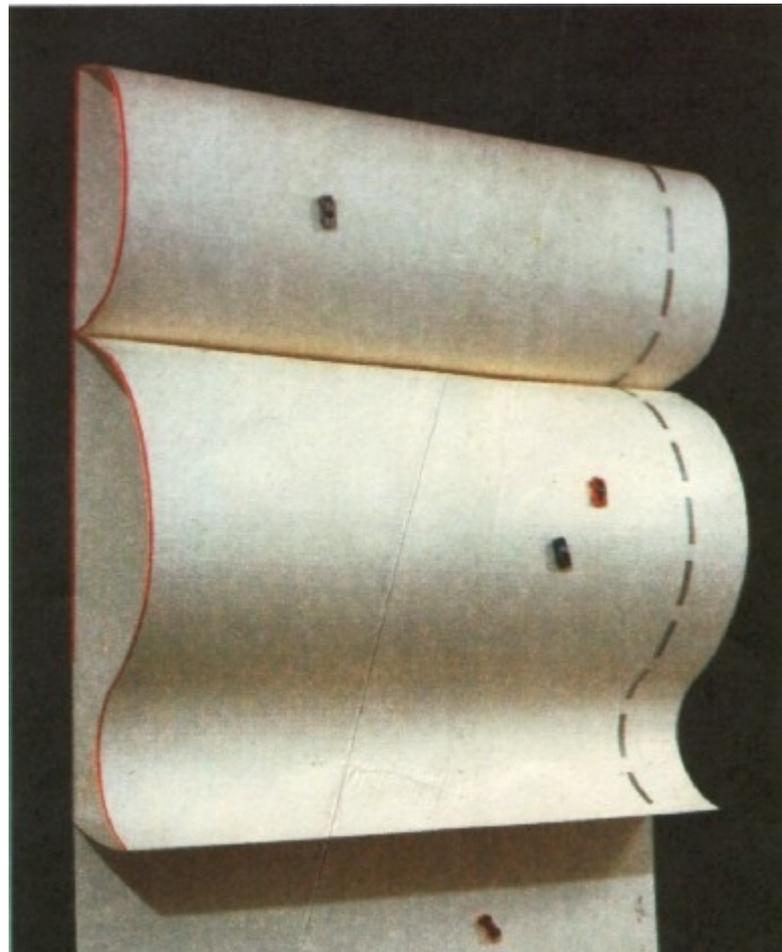




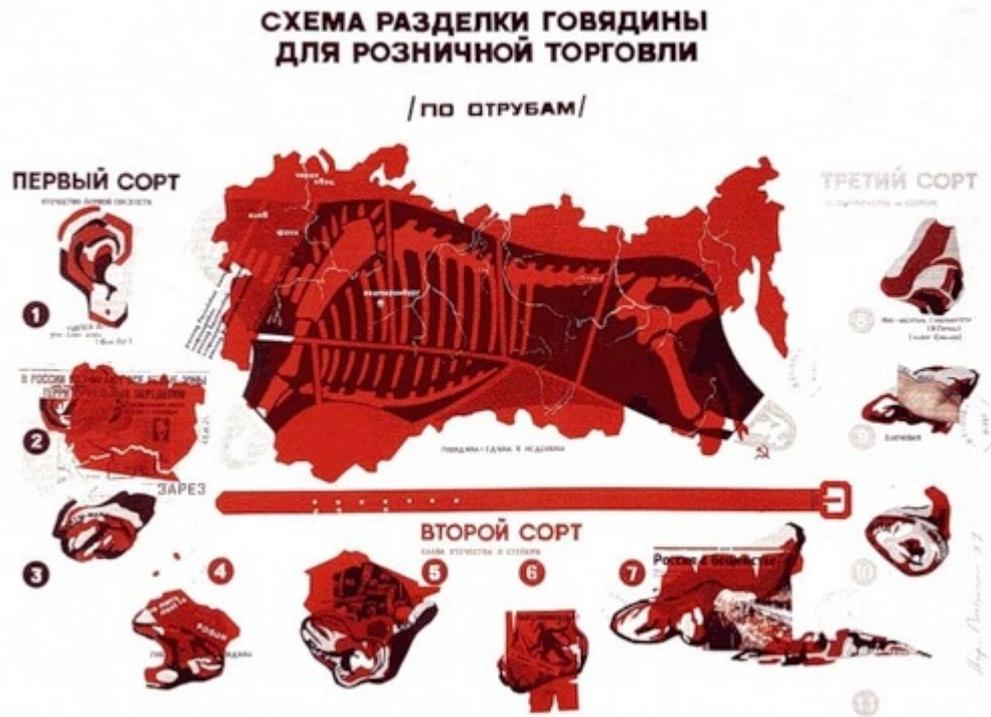
Пруст

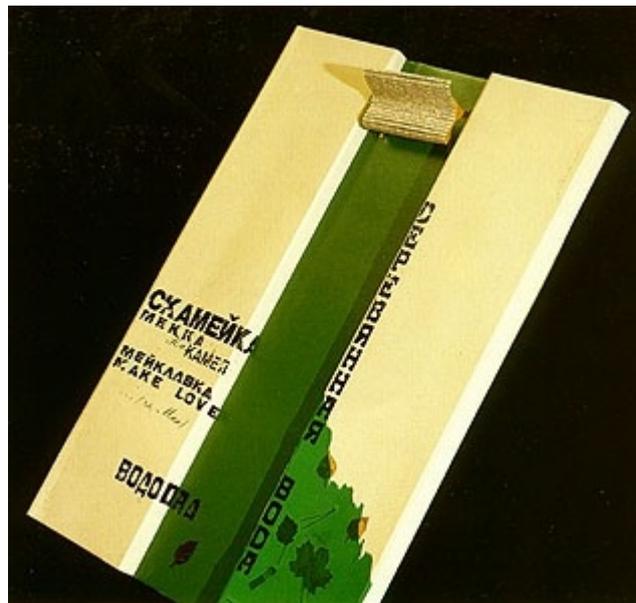


Раскольников

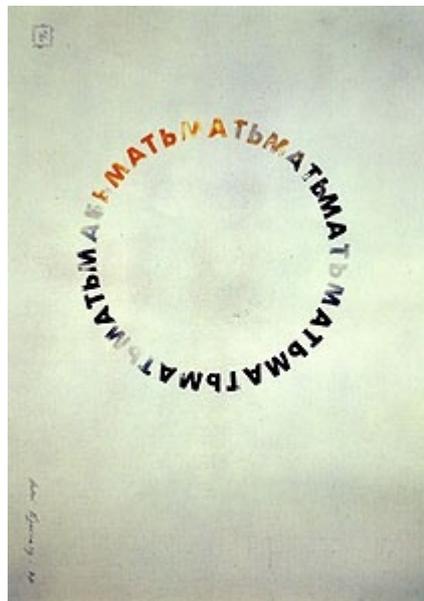


Ремарк

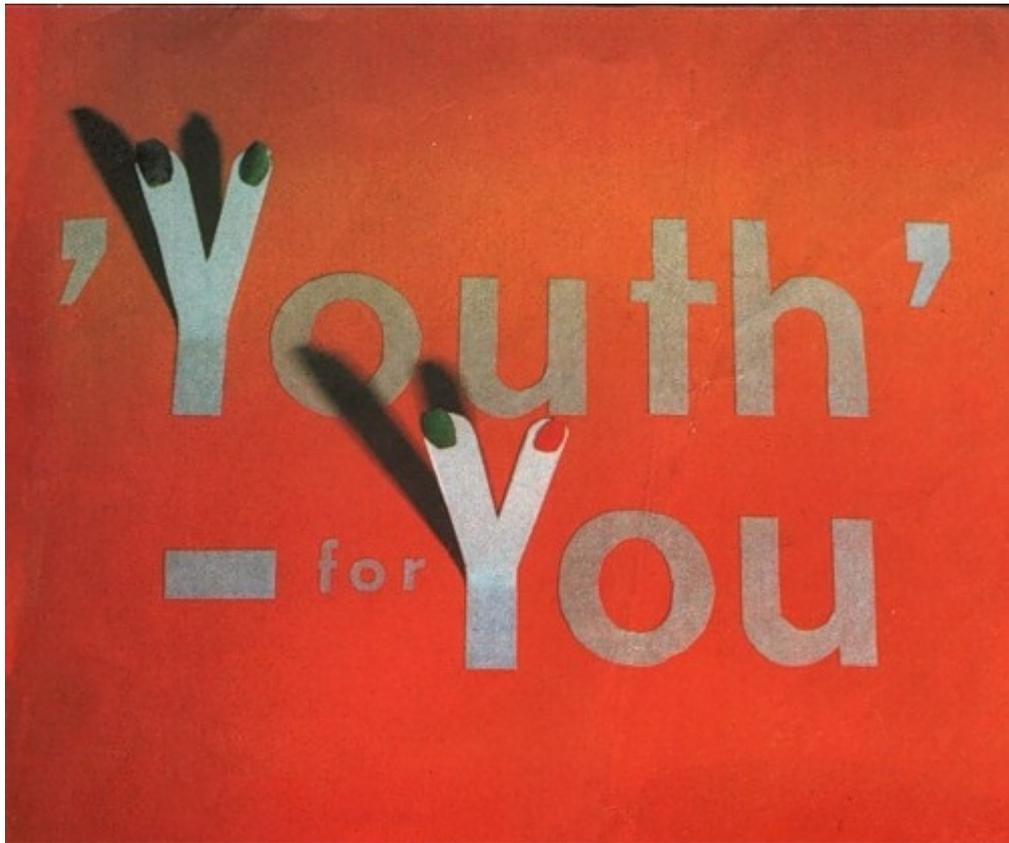




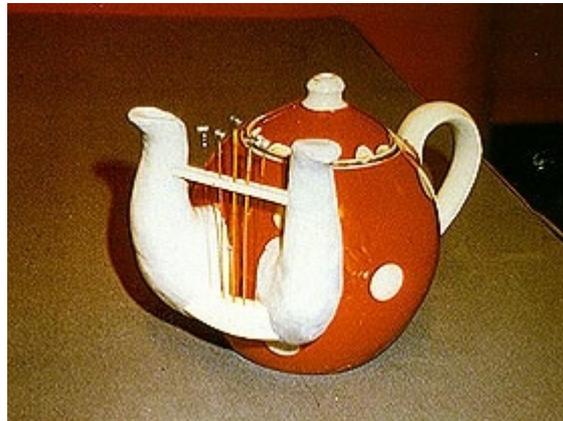
Скамейка



Матьма – кругомет



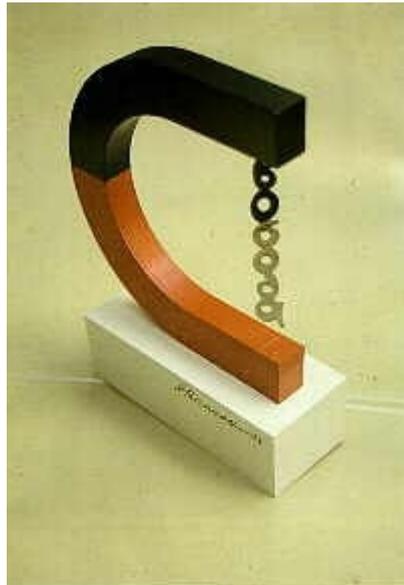
Журнал "Юность"



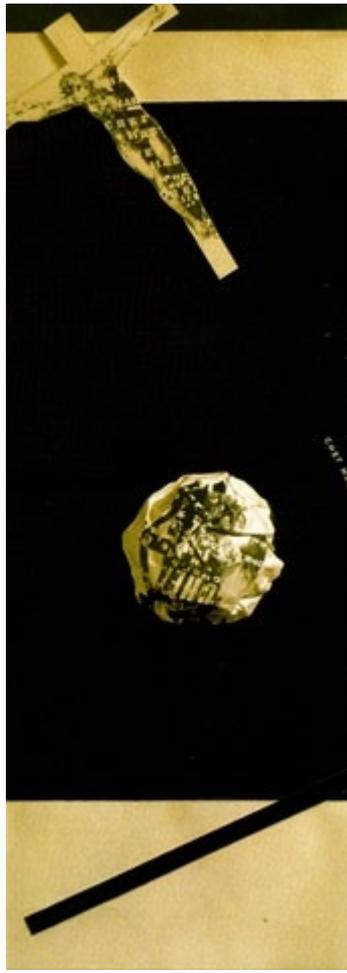
Чайник



Madonna



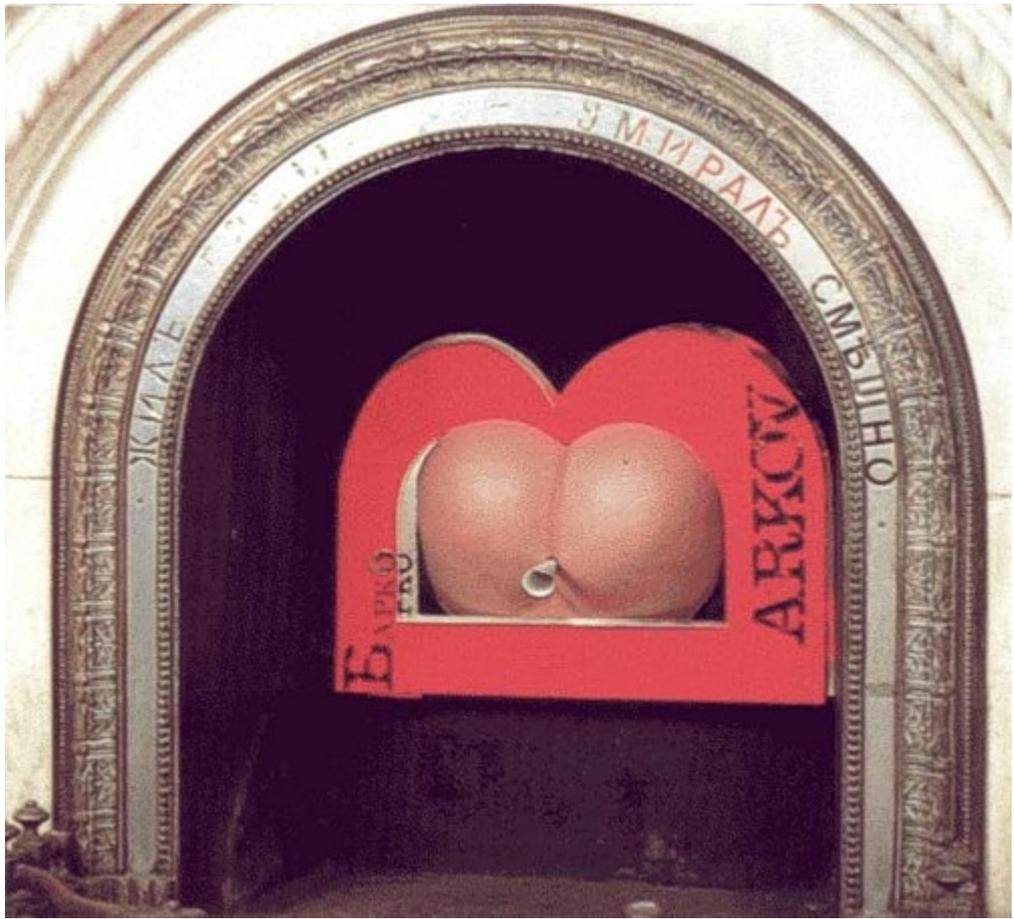
Chains of Freedom



Snowing



Архитектурная отмычка слезой



Мемориал И. Баркова. Камин в Челси. Нью-Йорк

Америка по всем программам:  
"На что способен Человек?"  
В глазах — обломки черной рамы.  
НЕ ПОНИМАЮ НИЧЕГО.  
Все это было не макетом,  
не Голливуд на нас попер,  
Ревел дымящийся Манхэттен,  
как потерявший зуб бобер?  
Чей

СМОТРИ

ВБИТ В СТОМУ КЛЯКСОЙ?

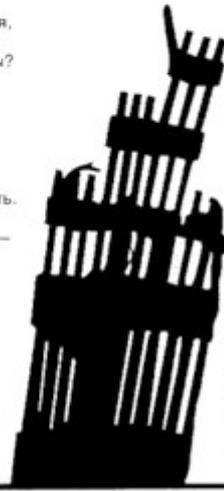
Он тыщи жизней уволок.  
Цивилизация в коллапсе.  
Из бави Бог! Избави Бог!  
И трэффик душ, спеша  
расстаться,  
крутился зло и горячо.  
Кому несут москвички астры?  
Кому еще?.. Кому еще?..  
И пирсинговую студентку,  
глазешую на Пентагон,  
оберегите, не заденьте!  
Скорее, милая, бегом.  
Есть вечность зла.

Есть свет и вечность.  
Дышала, схожая с Тобой,  
мучительная человечность —  
какой ценой? какой ценой?  
Как здорово, что столько  
доноров.  
У крови лидеры свои.  
Смысл жизни не в рублях и  
долларах,  
а на крови, а на крови.  
Нам остается только тайна.  
Осталась пыль. Остался гул  
от сухопутного "Титаника",  
который в небе затонул.

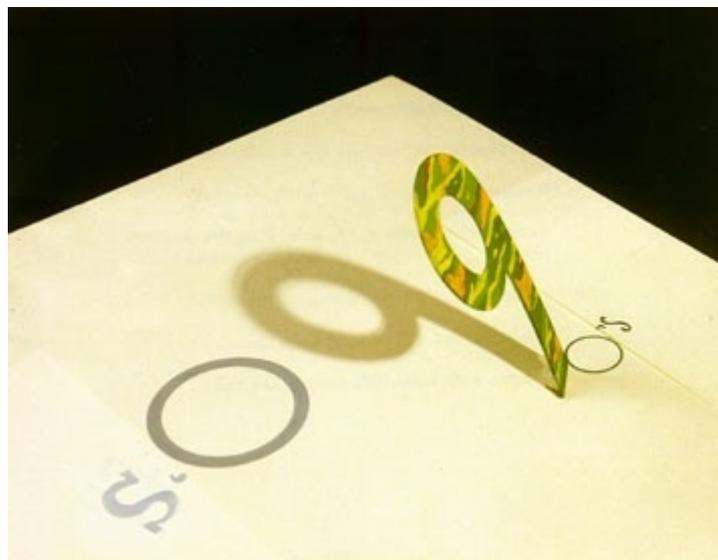
# TRAD CENTER

\* "Зубами бобра" американцы  
часто называли разрушенные  
башни-близнецы

Большая кровь побила рейтинг  
быхлых эпох. На что нам, Бог,  
кровавого тысячелетия  
непредсказуемый пролог?  
Иное наступает время.  
Иные слава и позор  
еще не ощутимы всеми.  
Но счет пошел, но счет пошел.  
Все будет: счастье,  
мелодрамы,  
успех, в любви —  
волонтеризм.  
Но в черной раме,  
в черной раме  
на всю оставшуюся жизнь.



ПРЕДЧУВСТВИЕ



90-е эхо 60-х



Как найти в Москве СКВ



Играума



Оза

Тетрадь, найденная в тумбочке дубненской гостиницы

Поэма

\*\*\*

Аве, Оза. Ночь или жилье,  
псы ли воют, слизывая слезы,  
слушаю дыхание Твое.  
Аве, Оза...

Оробело, как вступают в озеро,  
разве знал я, циник и паяц,  
что любовь - великая боязнь?  
Аве, Оза...

Страшно - как сейчас тебе одной?  
Но страшнее - если кто-то возле.  
Черт тебя сподобил красотой!  
Аве, Оза!

Вы, микробы, люди, паровозы,  
умоляю - бережнее с нею.  
Дай тебе не ведать потрясений.  
Аве, Оза...

Противоположности светло.  
Дай возъм всю боль твою и горечь.  
У магнита я - печальный полюс,

ты же - светлый. Пусть тебе светло.

Дай тебе не ведать, как грущу.  
Я тебя не огорчу собою.  
Даже смертью не беспокою.  
даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза. Пребывай светла.  
Мимолетное непрерывимо.  
Не укоряю, что прошла.  
Благодарю, что приходила.

Аве, Оза...

I

Женщина стоит у циклотрона -  
стройно,

слушает замагниченно,  
свет сквозь нее струится,  
красный, как земляничинка,  
в кончике ее мизинца,

не отстегнув браслетки,  
вся изменяясь смутно,  
с нами она - и нет ее,  
прслушивается к чему-то,

тает, ну как дыхание,  
так за нее мне боязно!  
Поздно ведь будет, поздно!  
Рядышком с кадыками

атомного циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из атомов,  
частиц, как радуги из светящихся пылинок  
или фразы из букв.

Стоит изменить порядок, и наш  
смысл меняется.  
Говорили ей, - не ходи в зону!  
а она

вздрагивает ноздрями,  
празднично хорошея,  
Жертво-ли-приношенье?  
Или она нас дразнит?

Не отстегнув браслетки,  
вся изменяясь смутно,  
с нами она - и нет ее,  
прислушаивается к чему-то...

"Зоя, - кричу я, - Зоя!.."

Но она не слышит. Она ничего не понимает.

Может, ее называют Оза?

П

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая, изменяли очертания, как лампочки иллюминации на Центральном телеграфе. Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах. Его вес оставался тем же. И нос был на месте, только вставлен внутрь, точно полый чехол кинжала. Немещающийся кончик торчал из затылка. Деревья лежали навзничь, как ветвистые озера, зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали ножницами. Они чуть погромыхивали от ветра, вроде серебра от шоколада. Глубина колодца росла вверх, как черный снопрожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали кусочки тины.

Из трех облачков шел дождь. Они были похожи на пластмассовые гребенки с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз, у третьего - вверх).

Ну и рокировка! На месте ладьи генуэзской башни встала колокольня Ивана Великого. На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.

Страницы истории были перетасованы, как карты в колоде. За индустриальной революции ей следовало нашествие Батыя.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили профилактику. Их разбирали и собирали. Выходили обновленными.

У одного ухо было привинчено ко лбу с дырочкой посредине вроде зеркала отоларинголога.

«Счастливчик,— утешали его.— Удобно для замочной скважины! И видно и слышно одновременно».

А эта требовала жалобную книгу. «Сердце забыли положить, сердце!» Двумя пальцами он выдвинул ей грудь, как правый ящик письменного стола, вложил что-то и захлопнул обратно. Экспериментщик Ъ пел, пританцовывая.

«Е9-Д4,—бормотал экспериментщик.—О, таинство творчества! От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия? Будут роботы.

Психика — это комбинация аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы...

Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не приткнула поверхность в районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум секции квазиискусства сохранял порядок. Его члены сияли, как яйца в аппарате для просвечивания яиц. Они были круглы и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одного над столом вместо туловища торчали ноги подобно трубам перископа.

Но этого никто не замечал.

Докладчик выпятил грудь. Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед, к новому искусству!» — призывал докладчик. Все соглашались.

Но где перед?

Горизонтальная стрелка указателя (не то «туалет», не то «к новому искусству!») торчала вверх на манер десяти минут третьего. Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы.

Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим, как апокалипсический знак, горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!» Но кнопки были воткнуты острием вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-черные брови были нарисованы не над а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

Может, ее называют Оза?

Ш

Ты мне снишься под утро,  
как ты, милая, снишься!..

Почему-то под дулами,

наведенными снизу,

ты летишь Подмосковьем,  
хороша до озноба,  
вся твоя маскировка -  
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны  
наведенным патроном,  
30 метров озона -  
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,  
где полет безутешен,  
но пахнуло полетом,  
и - уже не удержишь.

Дай мне, господи, крыльев  
не для славы красивой -  
чтобы только прикрыть ее  
от прицела трясины.

Пусть еще погуляется  
этой дуре рискованной,  
хоть секунду - раскованно.  
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье  
в доме с умным сынишкой.  
Наяву ли сейчас ты?  
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,  
в шумном счастье заверчена,  
до утра? поутру ли?  
за секунду до пули.

IV

А может, милый друг, мы впрямь  
сентиментальны?  
И душу удалят, как вредные миндалины?

Ужели и хорей, серебряный флейтист,  
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь не модна, как камин?  
Аминь?

Но почему ж тогда, заполнив Лужники,  
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?  
И радостно и робко в нас души расцветают...

Роботы,  
роботы,  
роботы  
речь мою прерывают.

Толпами автоматы  
топают к автоматам,  
сунут жетон оплаты,  
вытянут сок томатный,

некогда думать, некогда,  
в оффисы - вагонетки,  
есть только брутто, нетто -  
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:  
к нему забежала горничная...  
Утром вздохнуа горестно, -  
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чем претензии?  
Провинциалочка некая!  
Сказки хотелось, песни?  
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится  
пойманной партизанкою?  
Сердце, как безработица.  
В мире - роботизация.

Ужас! Мама,  
роди меня обратно!..

Обратно - к истокам неслись реки.  
Обратно -от финиша к старту задним  
ходом неслись мотоциклисты.  
Баобабы на глазах, худея, превращались в пру-  
тики саженцев - обратно!  
Пуля, вылетев из сердца Маяковского, пролетев  
прожженную дырочку на рубашке, юркну-  
ла в ствол маузера 4-03986, а тот, свернув-  
шись улиткой, нырнул в ящик стола...  
...Твоя отец историк. Он говорит, что человече-  
ство имеет обратный возраст. Оно идет от  
старости к молодости.  
Хотя бы средневековье. Старость. Морщинистые  
стены инквизиции.  
Потом Ренессанс - бабье лето человечества. Это  
как женщина, красивая, все познавшая,  
пирует среди зрелых плодов и тел.  
Не будем перечислять надежд, измен, приключе-  
ний XVIII века, задумчивой беременно-

сти XIX...

А начало XX века - бешеный ритм револю-  
ции!.. Восемнадцатилетие командармов.

"Мы - первая любовь земли..."

"Я думаю о будущем, - продолжает историк, -  
когда все мечты осуществляются. Техника  
в добрых руках добра. Бояться техники?

Что же, назад в пещеру?.."

Он седой и румяный. Ему улыбаются дети  
и собаки.

V

А не махнуть ли на море?

VI

В час отлива возле чайной

я лежал в ночи печальной,  
говорил друзьям об Озе и величье бытия,  
но внезапно черный ворон

примешался к разговорам,  
вспыхнув синими очами,

он сказал:

"А на фига?!"

Я вскричал: "Мне жаль вас, птица,  
человеком вам родиться б,  
счастье высшее трудиться,  
полпланеты раскроя..."

Он сказал: "А на фига?!"

"Будешь ты, - великий ментор,  
бог машин, экспериментов,  
будешь бронзой монументов  
знаменит во все края..."

Он сказал: "А на фига?!"

"Уничтожив олигархов,  
тыстроишь агрегатов,  
демократией заменишь  
короля и холоя..."

Он сказал: "А на фига?!"

Я сказал: "А хочешь - будешь  
спать в заброшенной избушке,  
утром пальчики девичьи  
будут класть на губы вишни,  
глушь такая, что не слышна  
ни хвала и ни хула..."

Он ответил: "Все - мура,

раб стандарта, царь природы,  
ты свободен без свободы,  
ты летишь в автомашине,  
но машина - без руля...

Оза, Роза ли, стервоза -  
как скучны метаморфозы,  
в ящик рано или поздно...  
Жизнь была - а на фига?!"

Как сказать ему, подонку,  
что живем не чтоб подохнуть, -  
чтоб губами тронуть чудо  
поцелуя и ручья!

Чудо жить - необъяснимо.  
Кто не жил - что спорить с ними?!

Можно бы - да на фига?

## VII

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после гимнастики. И неважно, как тебя зовут. Ты и не слышала о циклотроне.

Кто-то сдуру соткнул на приморской набережной два ртутных фонаря. Мы идем навстречу. Ты от одного, я от другого. Два света бьют нам в спину.

И прежде, чем встречаются наши руки, сливаются наши тени - живые, теплые, окруженные мертвой белизной.

Мне кажется, что ты все время идешь навстречу!

Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, как очередь на троллейбус, стоит время. У меня за плечами прошлое, как рюкзак, за тобой — будущее. Оно за тобой шумит, как парашют.

Когда мы вместе — н чувствую, как из тебя в меня переходит будущее, а в тебя — прошлое, будто мы песочные часы.

Как ты страдаешь от пережитков будущего! Ты резка, искренна. Ты поразительно невежественна.

Прошлое для тебя еще может измениться и наступать. «Наполеон, — говорю я, — был выдающийся государственный деятель». Ты отвечаешь: «Посмотрим!»

Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.

«Завтра мы пошли в лес», — говоришь ты У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор у тебя из левой туфельки не вытряхнулась сухая хвойная иголка.

Твои туфли остроносые — такие уже не носят. «Еще не носят», — смеешься ты.

Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты никогда не разглядела майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься подладиться ко мне Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то ерза ешь. «Ну, что ты?»

Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь, как на иностранном языке: «Я получила большое эстетическое удовольствие!

А раньше я тебя боялась... А о чем ты ду маешь?..»

Может, ее называют Оза?

## VIII

Выйду ли к парку, в море ль плыву -  
туфельк пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,  
их не поправят - времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,  
вы еще теплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,  
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.  
Кровь кружит голову - спать не дают!

Выйду ли к пляжу - туфельк пара,  
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.  
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?..

...В мире металла, на черной планете,  
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки -  
нежные туфельки в форме скорлупки!

. . . . .

## IX

Друг белокурый, что я натворил!  
Тебя не опечалят строки эти?  
Предполагая

    подарить бессмертье,  
выходит, я погибель подарил.

Фельфебель, олимпийский эгоист,  
какой кретин скатился до приказа:  
"Остановись, мгновенье. Ты - прекрасно"?!  
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?  
Что наша жизнь?

    Взаимопревращенье.  
Бессмертье ж - прекращенное движенье,  
как вырезан из ленты кинокадр.

Бессмертье - как зверинец меж людей.

В нем тонут Анна, Оза, Беатриче...  
И каждый может, гогоча и тыча,  
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть - не видеться с тобой,  
какая грусть - увидеться в толкучке,  
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя,  
касается тебя - какая боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.  
Ну, а в душе кровавые мозоли?  
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,  
жуёт бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решетку строк...  
Но кровь к вискам бросается, задохшись,  
когда живой, как бабочка в ладошке,  
из телефона бьется голосок...

От автора  
и кое-что другое

Люблю я Дубну. Там мои друзья.  
Березы там растут сквозь тротуары.  
И так же независимы и талы  
чудесных обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.  
И, может, потому не дам я дуба -  
мою судьбу оберегает Дубна,  
как берегу я свет ее берез.

Я чем-то существую ради них.  
Там я нашел в гостинице дневник.

Не к первому попала мне тетрадь:  
ее командировщики листали,  
острили на полях ее устало  
и засыпали, сиясь разобрать.

Вот чей-то почерк: "Автор-абстрактивист!"  
А снизу красным: "Сам туда катись!"  
"Может, автор сам из тех, кто  
тешит публику подтекстом?"  
"Брось искать подтекст, задрыга!  
ты смотришь в книгу -  
видишь фигу"

Оставим эти мудрости, дневник.  
Хватает комментария без них.

\*\*\*

...А дальше запись лекций начиналась,  
мир цифр и чей-то профиль машинальный.  
Здесь реализмом трудно потрястись -  
не Репин был наш бедный портретист.

А после были вырваны листы.  
Наверно, мой упившийся предшественник,  
где про любовь рванул, что посущественней...  
А следующей фразой было:

ТЫ.

Х

Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения в ресторане «Берлин». Зеркало там на потолке.

Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали гости. В центре потолка нежный, как вымя, висел розовый торт с воткнутыми свечами.

Вокруг него, как лампочки, ввернутые в элегантные черные розетки костюмов, сияли лысины и прически. Лиц не было видно. У одного лысина была маленькая, как дырка на пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами.

У другого она была прозрачна, как спелые яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просвечивали три мысли (две черные и одна светлая - незрелая).

Проборы щеголей горели, как щели в копилках.

Затылок брюнетки с приклепленным прозрачным нейлоновым бантом полз, словно муха но потолку.

Лиц не было видно. Зато перед каждым, как таблички перед экспонатами, лежали бумажки, где кто сидит.

И только одна тарелка была белая, как пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки пустое место?»

«Генерала, может, ждут?», «А может, помер кто?»

Никто не знал, что там сажу я. Я невидим. Изящные денди, подходящие тебя поздравить, спотыкаются об меня, царапают вилками.

Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая, как подарок в целлофане.

Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то этакого! Поближе к жизни, не от мира сего... чтобы модерново...»

Поэт подымается (вернее, опускается, как спускают трап с вертолета). Голос его странен, как бы антимирен ему.

Молитва

Мать Владимирская, единственная,  
первой молитвой — молитвой последнею —  
я умоляю —

стань нашей посредницей.

Неумолимы зрачки Ее льдистые.

Я не кощунствую — просто нет силы,  
Жизнь заberi и успехи минутные,  
наихрустальнейший голос в России —  
мне ни к чему это!

Видишь — лежу — почернел как кикимора.  
Все безысходно...

Осталось одно лишь —  
грохнись ей в ноги,  
Мать Владимирская,  
может, умолишь, может, умолишь...

Читая, он запрокидывает лицо. И на его белом  
лице, как на тарелке, горел нос, точно болгарский перец.  
Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и тос  
тик!» Слово берет следующий поэт. Он пьян  
вдребезину. Он свисает с потолка вниз голо  
вой и просыхает, как полотенце. Только не  
сколько слов можно разобрать из его бормо  
танья:

— Заонежье. Тает теплоход.  
Дай мне погрузиться в твое озеро.  
До сих пор вся жизнь моя —  
Предозье.  
Не дай бог — в Заозье занесет...

Все замолкают.  
Слово берет тамада Ъ.  
Он раскачивается вниз головой, как длинный  
маятник. «Тост за новорожденную». Голос  
его, как из репродуктора, разносится с по  
толка ресторана. «За ее новое рождение,  
и я, как крестный... Да, а как зовут ново  
рожденную?» (Никто не знает.)

Как это все напоминает что-то! И под этим  
подвешенным миром внизу расположился  
второй, наоборотный, со своим поэтом, со  
своим тамадой Ъ. Они едва не касаются за  
тылками друг Друга, симметричные, как  
песочные часы. Но что это? Где я? В каком  
идиотском измерении? Что это за потолоч  
но-зеркальная реальность?? Что за наобо  
ротная страна?!

Ты-то как попала сюда?  
Еще мгновение, и все сорвется вниз, вдребезги,  
как капли с карниза!

Надо что-то делать, разморозить тебя, разбить  
это зеркало, вернуть тебя в твой мир, твою  
страну, страну естественности, чувства -  
где ольха, теплоходы, где доброе зеркало  
Онежского озера... Помнишь?

Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд  
с кетовой икрой.

Но почему висящий напротив, как окорок, пе-

риферийный классик с ужасом смотрит на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим. а бутерброд реален! Он передвигается по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу.

Слух моментально пронизывает головы, как бу сы на нитке.

Красные змеи языков ввинчиваются в уши соседей. Все глядят на бутерброд.

«А нас килькой кормят!» — вопит классик.

Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат меня, кто же выручит тебя, кто же разобьет зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на красную дорожку пола. Рядом со мной, за стулом, стоит пара туфелек. Они, видимо, жмут кому-то. Левая припала к правой. (Как все напоминает что-то!) Тебя просят спеть...

Начинаются танцы. Первая пара с хрустом проносится по мне. Подошвы! Подошвы! Почему все ботинки с подковами? Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам. Чьи-то каблучки, подобно швейной машинке, прошивают мне кожу на лице. Только бы не в глаза!..

Я вспоминаю все. Я начинаю понимать все.

Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!

«Так как же зовут новорожденную?» —  
надрывается тамада.

«Зоя! — ору я.— Зоя!»

А может, ее называют Оза?

## XI

Знаешь, Зоя, теперь - без трепа.

Разбегаются наши ропы.

Стоит им пойти стороною,  
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, - в снега застеленную,

помнишь Дубну, и ты играешь.

Оборачиваешься от клавиш.

И лицо твое опустело.

Что-то в нем приостановилось

И с тех пор невосстановимо.

Всяко было - и дождь и радуги,  
горизонт мне являл немилость.

Изменяли друзья злорадно.  
Сам себе надоел, зараза.  
Только ты не переменялась.

А концерт мой прощальный помнишь?  
Ты сквозь рев их мне шла на помощь.  
Если жив я назло всем слухам,  
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,  
я, как в воду, нырял под Ригу,  
сквозь соломинку белокурую  
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют,  
а сближают, как провода,  
непростительнее, когда  
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,  
то на черта мне жизнь без боли?  
Или, может, беда блуждает  
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие - неспасаемы.  
Что б ни выпало претерпеть,  
для меня важнейшее самое -  
как тебя убережь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?  
И из лет  
очертанья, что были нами,  
опечаленно машут вслед.

Горько это, но тем не менее  
нам пора... Вернемся к поэме.

## XII

Экспериментщик, чертова перечница,  
изобрел агрегат ядреный.  
Не выдерживаю соперничества.  
Будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада  
программированного зверья.  
Будь я проклят за то, что я  
слыл поэтом твоих распадов!

Мир - не хлам для аукциона.  
Я - Андрей, а не имя рек.  
Все прогрессы -

реакционны,  
если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой,  
механическим соловейчиком!  
В жизни главное - человечность -  
хорошо ль вам? красиво? грустно?

Край мой, родина красоты,  
край Рублева, Блока, Ленина,  
где снега до ошеломления  
завораживающе чисты...

Выше нет предопределения -  
мир  
к спасению  
привести!

"Извиняюсь, вы - певец паровозов?"  
"Фи, это так архаично...  
Я - трубадур турбогенераторов!"  
Что за бред!  
Проклинаю псевдопрогресс.  
Горло саднит от техсловес.  
Я им голос придал и душу,  
будь я проклят за то, что грядущем,

порубав таблеток с эссенцией,  
спросит женщина тех времен:  
"В третьем томике Вознесенского  
что за зверь такой Циклотрон?"

Отвечаю: "Их кости ржавы,  
отпугали, как тарантас.  
Смертны техники и державы,  
проходящие мимо ас.

Лишь одно на земле постоянно,  
словно свет звезды, что ушла, -  
продолжающееся сияние,  
называли его душа.

Мы растаем и снова станем,  
и неважно в каком бору,  
важно жить, как леса хрустальны  
после заморозков поутру.

И от ягод звенит кустарник.  
В этом звоне я не умру".

И подумает женщина: "Странно!  
Помню Дубну, снега с кострами.

Были пальцы от лыж красны.  
Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?"

Та, физик давняя?

До свидания, до свидания.

Отчужденно, как сквозь стекло,  
ты глядишь свежо и светло.  
В мире солнечно и морозно..

Прощай, Зоя.

Здравствуй, Оза!

### XIII

Прощай, дневник, двойник души чужой,  
забытый кем-то в дубненской гостинице.  
Но почему, виски руками стиснув,  
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.  
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.  
Чудовищна ответственность касаться  
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!  
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.

И может быть, нескладный и щемящий,  
придет хозяин на твой зов щенячий.  
Я ничего в тебе не изменил,  
лишь только имя Зоей заменил.

### XIV

НА КРЫЛЬЦЕ,  
ОЧИЩАЯ ЛЫЖИ ОТ СНЕГА,  
Я ПОДНЯЛ ГОЛОВУ.

ШЕЛ САМОЛЕТ.

И ЗА НИМ

НА НЕИЗМЕННОМ РАССТОЯНИИ  
ЛЕТЕЛ ОТСТАВШИЙ ЗВУК,  
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, КАК ПРИЦЕП  
НА БУКСИРЕ.

Дубна - Одесса  
Март 1964 г.

## Андрей Битов

### Об авторе:

### "Дайте времени поговорить его языком..."

#### (интервью)

- Андрей Георгиевич, вы много размышляли и писали о времени.. И смена исторических эпох, выраженная в том числе и цифрами, по-моему, никогда не казалась вам условностью...

- Конечно, смена века - не условность. Меня очень занимал этот переход, и я к нему готовился. Не рассчитывал, как бы дожить, - по молодости лет не можешь же себе представить, что тебе будет за шестьдесят. Но, в общем, я ждал этого перехода через нули и по этому поводу что-то делал. Поставил себе задачи, как стахановец, и, как ни странно, выполнил эти задачи. Одна - это памятник зайцу, который перебежал дорогу Пушкину в Михайловском. Я этим памятником всем надоел: хотел, чтобы он появился ровно в канун перехода. А вторая: отметить пятого января 2001 года - пятидесятилетие смерти Платонова, который, при некотором воображении, может представиться писателем будущего.

- А когда появился памятник зайцу?

- Единственная дата, которую по сей день не пересчитали по новому стилю, 14 декабря. Я пересчитал, получается 26 декабря, как раз на Рождество. И вот я на Сочельник 2000 года назначил памятник зайцу - к 175-летию декабристов и юбилейной дате Пушкина. Конечно, возмущения это вызвало много, в том числе и в отношении к декабристам. Либерального возмущения, и пушкиноведческого возмущения, и православного - от РПЦ, значит... Вот как уха-то нет у людей! Да что ж такое, у них только что КГБ было, а они РПЦ называются! Господь наказывает бесчувствием к языку. О таком же случае мне рассказывала вторая жена. Она училась в школе уже после смерти Сталина, учительница пришла в класс и говорит: "Поздравляю вас, дети, введено новое сокращение - ВОСР, то есть Великая Октябрьская социалистическая революция"...

Так вот, противников этого зайца было много, и спасибо директору Михайловского заповедника Георгию Василевичу: открытие памятника - это была его заслуга. На него было большое давление, но он оказался человеком слова. Для меня это было вопросом принципа, идеи - для него это был вопрос жизни. Во всяком случае, памятник в Михайловском стоит. А смысл этого памятника, как я со своими амбициями считаю, может доходить еще достаточно долго. Как такое маленькое дао. Ну, и потом, традиция парковой архитектуры не нарушена: копия верстового столба, ничего лишнего.

- А почему церковь была против?

- А они где захотят, там беса и увидят. К тому же я жидомасон. По спискам. А РПЦ почему-то верит этим спискам. В общем, Бог с ними, грех во время поста даже жалкому гневу предаваться. Зайчик стоит - пусть думают, зачем. Это вам не кот ученый, это серьезная вещь! Над ней надо очень долго думать. Я полвека думал, с детских лет. И сейчас с амбицией говорю, цитируя Тома Сойера: не всякому мальчику доверят красить забор в воскресенье. Другие не сделали - я сделал. Конечно, с помощью других людей: один это не осилишь.

- Вы объясняли его как памятник выбору?

- Конечно, выбору: Пушкин собрался, его что-то толкает, у него же интуиция. Ну, и соскучился в Михайловском, истосковался, да написал кучу, мало ли чего хочется... Что-то его толкало к Петербургу. Да еще царь помер. Потом... зайчик остановил. Не поехал. А так бы, как царю откровенно признался, конечно, был бы на Сенатской площади. Куда ж деваться? А тогда был бы и в Сибири - и история была бы другая. Странное дело: какой-то титулярный советник, ерунда собачья, а история России могла бы поменяться оттого, что Пушкин стал бы декабристом... Он все предвидел! Он же написал

"Воображаемый разговор" - о том, что наговорил бы царю дерзостей, а тот сослал бы его в Сибирь, где он написал бы поэму "Ермак" или "Кочум" разнообразными размерами с рифмами. Совершенно другая история! Декабристы все вернулись такие здоровые, крепкие... На них еще любовался Лев Николаевич Толстой и говорил: в какие развалины превратились светские судьбы и какие крепкие - борода лопатой вернулись мужики из Сибири! Без них Сибирь была бы другая, потому что они ведь там пустили какие-то ростки просвещения, интеллигентности. До сих пор трогательно посещать деревенские музейчики, в которых какой-нибудь мужик шукинского характера откапает оловянную ложку и верит, что она декабристская...

Ну, это я ушел в сторону - но много в том зайчике мысли. Вот, одну историю вспомнил... Я ее недолюбиваю - может быть, из-за некоторых вещей, которые до сих пор не время рассказывать. Так вот, в "Метрополь" некоторые из приглашенных не пошли.

- Заяц?

- А был замечательный совершенно ответ Трифонова. Трифонов был в золотой поре и как-то умудрялся качественные свои, безусловно живущие до сих пор тексты публиковать, и даже выезжать за кордон, не ведая никаких дурных дел. И он сказал очень четко: "Когда у человека своя игра, он в чужую не играет". У меня тоже была своя игра, я же накануне выпустил "Пушкинский дом" за границей, мне бы хватило. Но я не был достаточно тверд.

Так что с зайцем не такая простая вещь - правильно Трифонов ответил... И сейчас очень важное время, и сейчас зайчики важны. Не дай Бог никакого радикализма! Пусть это болото, это гниение продолжается как можно дольше. Распад должен произойти и просохнуть естественным путем. Надо наконец не торопить историю. Начинаешь отдавать должное проклинаемым советским политикам за то, что они продержались без гражданской войны; гниение при них продолжалось мирным путем. И поколениеросло. Это же поколение было послано в Афганистан - третье, то, которое дедушку Ленина уже не в гробу видало, а просто не помнило. Три поколения потрачено - три должно быть, чтобы вернуться хотя бы в прежнюю точку. Так что заяц будет пониматься все глубже и глубже... Нельзя рвать историю на куски - ее надо иметь. А у нас все время какие-то ошибки и списывание предыдущего периода - ну куда из этого не вырваться! Списывать предыдущий период как ошибку, как будто поменять предыдущий состав кабинета министров. Укрепление вертикали напоминает мне засорение моего бачка - когда я ищущу эту штуку с резинкой, чтобы протолкнуть... В общем, дайте времени поговорить его языком. Ведь столько усилий ушло на последовательность! Важно не повредить поколению наших поздних детей - не ранних, а тех, которые сейчас тинэйджеры. У меня в "Оглашенных" есть разговор с ребенком. Этот ребенок утверждал, что самостоятельные люди начали рождаться с 1985 года. Мой младший сын - 1988 года. Тот мальчик не верил, что такой старый человек может иметь самостоятельного сына, и очень меня похвалил за это. Я его спрашиваю: "А ты с какого?" - А я с 1985". И старец какой-то сказал, что очень новые люди родились, но очень страшная судьба им предстоит. Такое у него страшное было пророчество.

И вот 2002 год. Мир разменял его отвратительным способом - одиннадцатым сентября. Меня тоже напугала Америка - то, что с ней случилось, - потому что я вижу за этим, не дай Бог, более страшные вещи, чем любая политика, любая идеология или, тем более, сопротивление светлых сил темным. Я вижу биологическую сторону того, что произошло. Для нас самое неизвестное - это аппараты регуляции поведения. Сколько бы у нас ни было мозгов, пятью процентами мы варим, а девяноста пятью - осуществляем программу. Если вид идет на самоуничтожение - а вид же состоит из отдельных представителей, и из этих камикадзе тоже - так вот, если он идет на такую выработку регуляции, то это более страшно, чем любая политика; это космическое что-то.

Когда в свое время советская власть, вполне приготовленная к гибели и поэтому стремившаяся выжить, спустилась на Афганистан, я, например, перекрестился, потому

что, по идее, готова была Югославия. И этого бы нам никогда никто не простил. Вдруг какое-то бестолковое движение - и бедный Афганистан отдувается за все.

- Может быть, такая страшная и неожиданная биологическая регуляция является сигналом, который человечество должно правильно понять?

- У нас до сих пор ни при каких обстоятельствах не произносят имя Мальтуса, боятся не знаю чего - расизма, фашизма или просто самих себя. А биологический фактор может оказаться важнее всех других - этнологического и экологического. Но это, в то же время, может быть сигналом того, что миру нужна не глобализация, а объединение. Ведь технические средства, которые нарабатываются человечеством, могут быть и во спасение, и во гибель, да? Мир был двухсистемным - с двух сторон подвесили, как елочные игрушки, по бомбе, и мир спокойно за наш счет существовал: мы были империей зла, очень легко было на нас все навешивать, третий мир потихоньку подрастал... Вся планета была в балансе, и такого долгого мира, в общем, не знала. Стоило распасться этому противостоянию - и весь мир пошел мелкими вспышками. Пока что он такой искрящийся, но идеей борьбы с терроризмом затеяна глобальная история. Потому что если, не дай Бог, тайный антиамериканизм, который всюду распространен, будет перевешен в антимусульманство, - многие пойдут трещины, и все замечательно сгорит. Впервые я начинаю понимать, что имел в виду Иисус, когда говорил: "Подставь правую щеку". Всегда мне было непонятно, зачем ее подставлять, я был советского разлива человек... Правым быть нельзя. Две правоты - это две агрессии. Вот и все. Нельзя быть правым, надо иметь чувство жизни во спасение.

- Соотносится ли это с теми идеями экологического единства, которые вы высказывали - и в эссе, и в трилогии "Оглашенные"?

- Я имел наивность проповедовать будущее экологическое единство, такую утопию имел, что человечество переменит, переадресует свою агрессию и тогда весь экономический потенциал будет не даром накоплен, а во спасение, потому что надо будет спасать общий воздух и общую воду. Была перспектива неокончательной экологической катастрофы, то есть такой, которая не погубит жизнь, а обозначит необходимость иначе адресовывать весь человеческий гений, весь потенциал. Вот такие у меня были десять лет назад разглядения XXI века. Но это были того времени чувства, а сейчас они совершенно другие...

- Связанные с новым веком?

- Мы действительно уже в XXI веке. Я даже придумал другую периодизацию для XX века. Я подумал, что XIX был несколько длиннее - скажем, до Первой мировой войны. Недаром же со сталинских времен, преувеличивая достижения социалистического хозяйства, все мерили по 1913 году. В 1900 году не произошло перемены века, хотя я уверен, что если покопаться в газетах, то тоже найдется много всякой ерунды, но она была на фестивальном уровне, на уровне шутишек и хлопушек. А XX век начался в 1914 году, и правильно было бы считать, что он закончился в 1989, то есть с падением Берлинской стены. И начался XXI век уже другой мир.

- У вас нет ощущения, что сейчас идет какая-то волна потрясений?

- В последний год все так или иначе потрясены. В одной литературе смертей зашло за двадцать! Умерли люди, которых я знал на протяжении жизни, - одних ближе, других дальше. Некоторых очень близко... И каждую семью затронуло то или другое потрясение. Я думаю, что это явление космическое вполне. Не надо путать человеческую волю, которая всегда сильно преувеличена, с тем, что происходит в других сферах.

- А какой же выход?

- Человек должен смиряться, а не искать агрессивный выход. Если я вам дам по морде за то, что у меня в семье горе, от этого лучше никому не станет, да? А ведь что-то близкое к этому все время происходит в мировом масштабе. И все считают себя на вершине развития человечества, и до сих пор не пересмотрен масштаб человека, место человека - то, что связано и с верой в Бога, и с вполне научным сознанием. Вообще, я

считаю, что вера в Бога не мешает быть материалистом в реальных вопросах. Надо осознавать себя на биологическом уровне, не зарываясь, понимая, что это, может быть, и есть задача человека: разрешить проблему жизни как долга, а не как животного права. Лет десять назад я придумал даже термин: эсхатологическая цивилизация. Это люди, осознающие себя перед концом света и испытывающие обязанность перед жизнью. Зачем-то ведь нам нужны и Интернет, и ракеты, и все такое прочее - кроме власти, наживы и подавления.

- А Россия относится к этой цивилизации в полной мере, или мы снова выбираем особый путь?

- В свое время - это было время, пригодное для циничных шуток, - на каком-то интервью мне задали провокационный вопрос про мою программу для президентства, и я сказал: нет, я вряд ли пригодился бы, но вообще-то легко выиграл бы выборы. Сказал бы: не обещаю вам, что вы будете жить лучше, обещаю, что сосед будет жить хуже. Выиграл бы на сто процентов! Вот это, конечно, отрицательная часть российского менталитета. Ведь мы же такие сердечные, что и замочить можем запросто. Всемирная отзывчивость переключается легко, как напряжение сто двадцать семь на двести двадцать. Всемирная отзывчивость, переходящая в погром, - это хорошая перспектива! Стоит только кому-то куда-то нас поманить, мы и попрумся. Так что я молю Бога о том, чтобы такой мерзавец со светлой головой не объявился впереди. Чтобы не было зовущих - вперед, назад... Надо перетерпеть это время, надо дать ему поговорить своим языком. Но не терпят! Не терпят сильные и не терпят слабые. Мы как страна с поражением в холодной войне представляем собой опасность, американцы - как страна с победой представляют собой опасность. А между тем каждые пять секунд умирает в этом мире ребенок. Каждые пять секунд - такая цифра. Может быть, все это рисуют толкатели пропаганды, но... Значит, дети расплачиваются, дети нам делают наш экологический баланс. Киты выбрасываются на берег - у человека есть и другой выход: когда он жить не хочет, он пускается в агрессию, в истерику.

Много, много проблем, только их нельзя решать в целом - надо решить их для себя. Пока не решишь их для себя, в мире ничего решено не будет. Я считаю, что очень важно смиряться - перед тем злом, которого мы еще не осознаем, которое выше очевидного зла. Ведь очевидное зло - это, в общем, комфортабельная вещь, на очевидное зло можно помолиться. Дайте мне настоящего злодея, настоящий отрицательный характер, дайте мне Тартюфа - нет, никого такого нет. Сволочь на сволочи сидит, сволочью погоняет, а отрицательных нет, понимаете? Такая история презабавная. Презабавная потому, что и без насилия нельзя, и с насилием невозможно.

- Тупик?

- Но для того и существуют цивилизации, чтобы насилие принимало грамотную форму. Оно регламентируется обществом, которому в России не дают подрасти, законом - законодательством, которое тоже в России имеет опасный временщицкий характер: никто не верит, что сел надолго и отвечает надолго. Ведь понимание власти, когда она даже от Бога, может быть только одно: что это высшая форма зависимости. Чем выше власть, тем от большего ты зависишь. А у нас власть материальна, мы власть все время делим и рвем, кусочки урываем. И что мы сейчас говорим о XXI или XX веке? Нам сейчас XVIII век гораздо ближе - по духу непройденности. Надо что-то пройти, вот как плод развивается. Кстати, по непроверенным данным, первые материалисты от науки XIX века, первые Базаровы, с криком и ужасом допустившие для себя существование Бога обратно, были эмбриологи, которые поняли, что плод как-то не получается одними законами, без подключения высших сфер. Так что стадию рыбки-птички пройти придется. А вот если мы из рыбки, минуя птичку, и станем сразу человеками - это путь... не очень. Надо вытерпеть какое-то время. Даже получается теперь, обратным ходом, что и советскую власть, раз уж она была, раз уж три поколения на нее было потрачено, - то и ее надо было перетерпеть четвертым, пятым или шестым поколением. Она бы

переродилась, может, другим путем. Зайчик правильно перебегает дорогу! Не надо торопиться на Сенатскую, на Красную - дайте людям подрасти, времени побыть. Я на это надеялся десять лет назад, но этого не произошло. Не только у нас - не произошло и там.

- А как вообще отношение к существенным проблемам мира отличается у нас и в Европе?

- У нас наши проблемы, и нам надо мировыми заниматься постольку, поскольку это нам выгодно. Надо иметь национальный интерес: почему купить, почему продать. Я давно ношусь с такой бредовой идеей - что надо выпустить карту исторических возрастов. Есть политическая карта мира, есть географическая... Все живут или сегодня, или у себя. Я к этому пришел, анализируя, что такое ностальгия. Когда меня выпустили из страны - я стал кататься, видеть что-то, пользоваться чужими благами, сравнивать и не приходится ни к какому выводу: почему же русским так трудно жить там, где лучше, почему эмиграция проходит какие-то ломки и переживания? Чего же начинает не хватать? Видишь, что все русские эмигранты забиваются в свою языковую среду, а мир давно раскрашен в разные цвета и перемешивается, и это мирное перемешивание - много турок, много афроамериканцев, много кого угодно, и все держится на цивилизованных началах - с большим трудом, но все-таки, и каждый приносит другому пользу. И вдруг - такое русское отчаяние и разбирательство, кто прав, кто неправ... А почему я возвращаюсь домой - и мне проще? С каким бы отрывом я ни жил по судьбе, но все равно мне проще на родине. Я здесь на улице выхожу - и все понятно, ничего не пугает... Страшно - там, когда смотришь по телевизору какую-нибудь информацию отсюда и начинаешь нервничать за семью, за детей. А здесь не страшно. В чем дело, почему легко? Да потому что мой исторический возраст такой же, как у окружающей среды. Ничем другим - ни расовым, ни кровным, ни языковым - я не могу это объяснить. Ни тем более какими-нибудь березками, кочками, небесами. Исторический возраст у всех развит относительно. Китаец умнее русского, русский умнее еврея, немец умнее японца, и каждый из них умнее друг друга. Потому что у всех есть свой поворот ума, он заключен и в языке, и где-то еще. Сейчас, когда все это будут разнимать на уровне геномной цепочки, может опять черт знает во что вылиться. Но при этом ясно одно: если люди могут производить потомство - любые друг с другом - значит, это одни и те же люди. В аэропортах, где набито цветными детьми, а я уже ностальжирую по своим, - я вижу, что играют они одинаково, тянутся к игрушкам одинаково, плачут и смеются одинаково. И тут доказывать нечего - это абсолютно одна порода. Но вот этнически она распахана по разным эпохам. Вообще, все с Интернетами, все с часами, все с зубами, кому хватает средств, - кроме тех детей, секундно погибающих детей... Мир должен поделиться, и он производит эту работу. На него не надо слишком клепать - он с большим скрипом и трудом производит эту работу. И в то же время есть обязательные экстремистские полюса. Это люди, которые в полном порядке и которых мало, и люди, которые действительно в полном беспорядке и которых совсем немало. Значит, энтропия, которую все заклиняют, поскольку конец света неизбежен, энтропия нужна на уровне духовном - нужна! На уровне самой настоящей веры и самой настоящей молитвы. И самых настоящих поступков, то есть тех поступков, которых не совершить человек не может - по совести, по принадлежности своей к образу и подобию, да? В общем, безнадежная ситуация. А чем безнадежней ее осознавать, тем меньше надо и рыпаться.

- Однако люди в основном все-таки "рыпаются", и так, что их принадлежность к образу и подобию начинает вызывать сомнение...

- Но человек-то хочет жить, правда? Молодой хочет жить в особенности, и у молодого же нет возможностей. Бедные тинэйджеры, которым природа, переобеспечившая их по линии размножения, посылает каждые полчаса сигнал, что им надо совокупляться! А они еще не имеют ни средств, ни положения, и эти старые идиоты им что-то внушают: что надо учиться, что они должны слушаться... И при этом мир все-таки устроен еще

кое-как! Господь сотворил нас на доводку такая система, которая должна была сама себя довести до ума... Вот и доводим. В общем, объявлять себя людьми рано, так я бы сказал.

- Вы говорили о том, что менялось ваше понимание главных проблем, стоящих перед человечеством. А самоощущение писателя - как индивидуальности, как части общества - меняется ли в зависимости от изменения времени? Или это как в кратных дробях - числитель и знаменатель разные, а значение дроби одинаковое?

- Конечно, очень меняется. Деятнадцатый век прошел, двадцатый прошел. Мальтус... Без биологии сейчас ничего не понять. И то, что раньше было лучше, а сейчас стало хуже и пали нравы, - это все маразматические старческие утверждения. Мне уже помирать каждый час надо быть готовым, мне уже шестьдесят пять лет, так долго не живут - и я буду говорить, что испортился мир? Ерунда! У мира все время меняется задача, и ее способны решить, как ни странно, только следующие люди. Ну, в то же время с умилением в хорошем настроении говорят, что вот, ребенок сразу правильно нажимает кнопку компьютера. А мой компьютер мой, мне природой выданный и достаточно развитый - не справляется с этой примитивной машиной, мне уже трудно усвоить последовательность кнопок. Они живут в другом времени, эти люди, и им не надо мешать. То есть им надо помогать. А играть желваками по линии сохранения традиций и делать особенный вид, что мир погиб, - знаете, это объявлять отсутствие собственных яиц. Это несерьезно, это даже опасно. Иногда просто глупо, а иногда опасно. Но в то же время бежать, задрав штаны, за комсомолом тоже всегда было глупо, и тоже опасно. Значит, остается та мера внутренней свободы, которую ты нажил и которую ты должен не утратить до самого конца дней. Я очень позитивно отношусь к старости, потому что старость - это эпоха приватизации, это твое частное дело. Это никого не интересует, и дай Бог тебе мужества продержаться в этом частном виде.

Вот сейчас вы меня вынуждаете говорить суждения, а на самом деле это, может быть, стыдно, может быть, этого не надо делать. Или надо как-то так уметь сказать, чтобы что-то обозначить, ничего не утвердив. Ну что же, я ничего ведь не предлагаю. Но те картины, те видения, которые мне открываются, - они не самого благополучного свойства. Хотя может быть, это просто клиника и патология. Меня год уже преследуют всякие сны и кошмары, но может быть, это просто, что называется, психосоматика, которая обретается с возрастом. Вот последний сон я расскажу. К сожалению, очень трудно описать: надо либо его начать сочинять, то есть придумывать так, чтобы он выглядел логично, потому что он весь безобразный - не безобразный, а безобразный... Мне снятся такие безобразные сны с невыявленной символикой, какие-то недолепленные. Как недолепленный бегемот, скажем: Господь слепил его, как из теста, но не оживил. Такие, пространственные довольно, сны. И вот мне снилось, что я делаю автомобиль. Почему вдруг? Я на автомобиле тридцать лет проездил и бросил по разным обстоятельствам, не езжу. И вдруг я делал во сне автомобиль из всякого какого-то дерьма, как будто я это умею делать. И, в общем, у меня уже получился автомобиль. Там был материал, который уходит в подкрылки - знаете, какая-то пластмассовая дрянь. Я прилаживаю крыло и даже, не совсем ровно, ножницами его обстригаю... Это автомобиль, а я ножницами его обстригаю! И тут от этого просыпаюсь, и какой-то странный умственный ужас: я понимаю, что делаю какую-то ерунду, а он уже почти едет, он уже почти настоящий автомобиль, и я уже почти горжусь результатом своих дел и усилий... Но просыпаюсь от того, что все-таки это не автомобиль, все-таки это просто какая-то ерунда собачья! На целый день меня подавило в депрессию, потому что я подумал: а не вся ли такая жизнь моя была? Мне ведь снился не тот автомобиль, который рожден автомобилем и с первой коляски паровой обретал этот род, а что-то такое, как наша "Волга" или, еще лучше, "ИЖ"... И корпус моих собственных сочинений вдруг предстал мне точно таким же. Может,

были отдельные страницы, а в принципе... Вот от этого становится тошно и невыносимо. А с другой стороны, дал кому-то жизнь, кого-то накормил, и почему у тебя функции должны быть выше, чем у твоей бабушки, которая была безусловно лучше тебя? Но вот этот автомобиль меня очень переехал... Вот этот пластмассовый ужасный автомобиль, который я во сне конструировал. С чего бы - никаких поводов! Снилось это мне в Германии...

Но вообще, все будет, как будет. Большие смирения, большие благодарности такой простой тезис. Жаловаться успеваем - благодарить не успеваем. И из-за этого происходит экологический дисбаланс тоже - этологический точно. Кстати, очень любопытно, что наш многострадальный народ, который перенес такое, что никому не снилось, то есть способен вынести все, - вдруг оказался таким изнеженным, жалующимся. Патология какая-то ментальная! Значит, что же, опять нужна узда? То есть неспособны вынести самостоятельную ответственность? Какой-то отвратительный западный человек - он жалуется меньше, он знает, почему что. Никогда не получается такой арифметики, чтобы взять лучшее и не забыть лучшее! Наоборот, забывается лучшее и берется худшее. При любой халаве так происходит - халавы не происходит.

- Очень многие явления жизни, и в России особенно, создают ощущение безнадежности. А, с другой стороны, двадцать лет назад для такого ощущения действительно было гораздо больше поводов. Но прожили ведь эти годы, и не просто по инерции, значит, есть что-то живое...

- Язык только работает, он нас и спас. Так сейчас зачем-то реформа языка понадобилась. Что за бред! Других забот нет! Вместо того чтобы растить очередную бригаду паразитов и воров, уже на почве словарей, - лучшие словари выпускайте. То есть дайте деньги на словари, дайте деньги на филфаки - на то, что кажется ненужным. Потому что единственная вещь, которая выдержала все с помощью мата и фени, вытянула нас - это живая русская речь. Она осталась. Что бы там ни говорили, что литература была, а потом ее не стало - ерунда, она есть и будет, и на ней много чего стоит. А уж на языке все стоит. Нет, давайте укреплять, давайте реформировать! Елки какие-то неровные, давайте мы их обстрогаем, прежде чем спилить... Не делается так ничего на свете! Давайте мы сначала будем ухаживать за лесом, а потом выбирать, что мы пилим и в какой пропорции.

- Для многих сейчас самый естественный выход - оживить старые рецепты. Православие, самодержавие, народность...

- Конечно, эта триада вся хромает - корчится, как расчлененный червь. Самодержавие - положим, можно было бы признать, что оно никогда не исчезало, поскольку генсек приобрел черты самодержца безусловно. Оно форму меняло, да? Православие тоже вроде как бы поднято на щит. А с народностью получается сложно. Я так и вижу картину "Три богатыря" - вот они смотрят вдаль, и только надо распределить, кто есть кто: кто православие, кто самодержавие, кто народность. Когда Александр Исаевич - вот кого я бесконечно чту, и вот великий человек, сделавший самое крупное дело в свое время! - когда он написал эти два тома, которых я еще не читал, про историю взаимоотношений с евреями, то все сразу вспухли. Но не может умный человек быть антисемитом. Просто раньше было КГБ, а теперь остался еврейский вопрос, под козырьком богатыря-то... И я подумал, что, может быть, функция народности, богатырская функция, - это Солженицын. Много лет человеку, и больше никто не справился.

Но народом-то не надо злоупотреблять тоже, потому что народ - понятие ускользающее. Его чувствовать сердцем можно, любить можно, даже, может быть, где-нибудь поплакать можно, но превращать в профессию нельзя, потому что это будет хуже древнейшей профессии. Чувство родины - так же, как язык, как нация, как время - это... Есть такая категория, которую я очень люблю: необсуждаемость. Не знаю, как

*это будет где-нибудь у Канта или у просветителей. Необсуждаемость любви к родине - это очень важное качество. Сейчас дошел до масс очень уж красивый термин - я его, в темноте, очень поздно узнал, но вдруг стал встречать слишком часто: бритва Оккама. Был в одиннадцатом, по-моему, веке схоласт замечательный, у него наиболее прославлен этот принцип - бритва Оккама: не надо помножать количество сущностей. Схоластика, обруганная советской идеологией, на самом деле очень важную делала работу в эпоху перед Просвещением: она обрабатывала связи между реальной жизнью и более возвышенной, метафизической. Это была работа - все перелопачивать до понимания. И вот - гениальная мысль очень великого схоласта, находящегося на грани науки и богословия: не надо помножать количества сущностей...*

## Жизнь без нас

### Стихопроза

...к концу, как в ересь...

ГРАНТУ

Друг мой первый, друг мой черный, за горой...

Наступает час последний, час второй.

За грядой кавказской новая гряда:

Люди, судьи, годы, моды, города.

А за той грядой чужая полоса:

Звезды, слава, заграница, голоса.

А за той границей гладь да тишина:

Чей-то холод, голод, смерть, ничья война.

А за этой тишь-гладью череда:

Никого и ничего и никогда.

А за этой чередою наш черед:

Слово, дело, крах, молчание и лед.

Твоя мама, моя мама - вот друзья!

Если верить им, то мы с тобой князья.

1973.

УМРЕТ НЕ ОТ ЭТОГО...

Одного выдающегося геронтолога спросили то, что положено у него спросить, наверно, имея в виду диету и здоровый образ жизни, и он ответил:

"Во-первых, следует правильно выбрать себе родителей".

После семидесяти, выйдя наконец на пенсию, мама стала очень решительной старушкой. Все-таки дитя своей эпохи, мыслила не иначе как в пятилетках. Когда ей стукнуло семьдесят пять, она гордо заявила, что теперь она самая старшая, потому что у нас в роду никто еще этот рубеж не переходил. К восьмидесятилетию она бросила курить, потому что, когда зачем-то полезла на стул, у нее закружилась голова, и это ее насторожило. И только тогда до меня дошло и восхитило: она опять поступила на работу.

Мама всегда гордилась тем, что она профессионал. Теперь ее профессией стала жизнь. Своим стареющим сыновьям она зарабатывала уже не на жизнь, а саму жизнь: способность прожить не меньше.

Как молодой специалист, она не избежала ошибок. Чем немогней она становилась, тем настойчивей отбивала срок. Никогда ничего не попросить и ни у кого не одалживаться - избыточная самостоятельность ее и подвела: каждый день ставя себе цель и неуклонно к ней стремясь, именно с нее она и начала падать, ломая то руку, то ногу, мужественно выкарабкиваясь и ломая снова.

Так ей исполнилось восемьдесят пять, и она взяла установку на девяносто. Но ее беспокоила нога. Точнее, один на ней палец. Сосуды, возраст... все это пугало. Мама была нетранспортабельна. Если его привезут и отвезут, то он посмотрит, сказал хирург.

Ему это было некогда и некстати - куда-то еще ехать. Но уж очень за меня просили. Недовольного и усталого от бессонной ночи не то за хирургическим, не то за праздничным столом привез я его. Осмотр длился минуту. Он посоветовал протирать спиртиком. Денег категорически не взял: мамин случай не стоил его вызова. И именно тут, от его неприветливости, я поверил в его великую репутацию и все-таки спросил напрямую...

- Умрет не от этого, - прямо взглянув мне в глаза, нехотя буркнул он.

Успокоенный, я поехал сопровождать своего двенадцатилетнего Ваню в Абхазию, к морю. Давненько я у него не был, у моря... С маминого восьмидесятилетия, отмеченного так счастливо в той же Абхазии.

И вот, выходя с этим трепетом первого в сезоне огурца на пляж, гордясь своим голенастым сынком, нетерпеливо стаскивая на ходу фуфайку через голову...

Крест у меня был особый, каменный, подаренный мне моим лучшим другом и крестным, освященный в Иордане... Монолитный, толстый...

И вот, падая с метровой всего высоты на пористый и присыпанный песочком бетон ступеньки, он раскалывается на кусочки, как рюмочка.

И не успел я дойти до моря, как меня всполошенно позвали обратно в корпус, к телефону...

"Пока мама жива, мы молоды", - говорят на Кавказе.

25 апреля 1996. СПб. (7.7.1990, Переделкино).

#### СОРОК ДЕВЯТЬ

Вот еще цифра, которую надо пережить. Слишком часто в нее упираются, не дожив до первого юбилея. Семью семь - две косы.

"Они любить умеют только мертвых..." Этот пушкинский приговор русскому менталитету скрашивается тем, что любят все равно те же, кто любил живого. Только возможностей почему-то появляется больше. Та же гласность.

Очередная тризна по Сергею Довлатову (+24 августа 1990) - "Звезда", Арьев...

Срочно в номер. По телефону же, как в голову пришло:

"Время поджигается, как яйца. Сергей Довлатов был моложе даже Валеры Попова. Он был слишком высок и слишком красив, чтобы я мог относиться к его прозе независимо. В конце концов, он сломал мне диван. И теперь, когда я знаю всех, кто имел к нему отношение, он умер. Редкое свойство русского писателя оказаться старше, чем ты рожден. Сережа Довлатов - Чехов. А кто же тогда Чехов?"

"Яйца оставить?" - "Оставь, раз уж есть".

Недавно едем это мы с Поповым, два старых мэтра, на автобусе из Ленинграда в Эстонию, сопровождая группу более свежих петербургских дарований.

Приглядываюсь к новым лицам, прислушиваюсь. Пересечь границу внутри бывшего СССР - тоже, доложу вам, переживаньице.

Слышу (с величайшим почтением в голосе):

- Валерий Георгиевич, а скажите, пожалуйста, как на вас повлияло творчество Сергея Довлатова?

- На меня? повлияло? - Попов на секунду теряет дар речи. Но лишь на секунду: - Да он же позже меня начал! Он нормальный тогда парень был. Его и за пивом можно было сгонять сбегать...

- Вот-вот! - подхватываю я. - А я еще тебя мог послать...

- Да, нормальный был парень... - Попов окончательно обретает свой дар. Это только после смерти он так чудовищно зазнался.

Думаю, Довлатову бы первому понравилась такая шутка.

Лежу я в одиночестве

На человеке голом...

Не знаю, какой Камю выразился бы так кратко и на таком пределе.

Знаменитого ленинградского алкаша и клошара отпели 1 мая 1992-го, в канун Пасхи, а не в День международной солидарности трудящихся, в открытой за день до того, к Пасхе,

Конюшенной церкви, семь десятилетий прослужившей по советскому назначению - складским помещением.

Олег Григорьев удостоился чести, которая не снилась ни одному из судивших и гонявших его секретарей: быть вторым русским поэтом, отпетым в этом храме. Запах поспешного ремонта смешался с запахом свечей и ладана.

И с запахом перегара.

Многие уже не дошли до похорон.

Эти, что здесь, оказались покрепче. Эти - пришли. Я представил себе количество выпитого ими всеми вчера и машинально посмотрел под ноги. Будто в этом выпитом можно было уже промочить ноги. Я представил себе количество выпитого ими всеми за жизнь с одним лишь дорогим покойным, и мне показалось, что я вошел в пруд с намерением выкупаться, но все еще не решаясь окунуться. Как раз до туда дошло, до них.

Я представил себе количество выпитого всеми нами за всю нашу жизнь и привстал на цыпочки, чтобы разглядеть черты усопшего.

Трудно было поверить, что Пушкин лежал здесь же.

В последний раз вглядывался я в успокоившиеся черты буяна, и мне казалось, что он, Олег Григорьев, не только польщен, но и впервые в жизни смущен.

Советская власть на своем месте, но и Сережа с Олежкой сделали все, чтобы не дожить до юбилея. И умереть не от этого.

4 года со дня смерти О. Григорьева, СПб.

ПЛИТА НА ТРОИХ

Яков Аронович Виньковецкий

27.I.1938

Ленинград

Юрий Аркадьевич Карабчиевский

14.X.1938

Москва

Натан Семенович Федоровский

28.VII.1951

Латвия

НЕЛЬЗЯ ТАК СИЛЬНО ЛЮБИТЬ РОССИЮ.

Подчеркните или выделите курсивом или разрядкой любое слово этой фразы, измените знак препинания в конце... И вы получите еще дюжину фраз различного наполнения и содержания.

ИЗ ДНЕВНИКА

5 декабря, Фельдафинг, День Сталинской Конституции, 1991. Как-то вдруг жаль Империи. Окажется, она была добрее, чем казалась. Будем еще бабушку вспоминать... Крыма жаль. Никто сейчас не скажет, что окажется глупостью (главной) через тридцать лет, а что - во спасение. Отдать Крым было незначительным на фоне кукурузы, Кубы и пр. ...

.....  
Марш "Прощай, империя"

"Империя - страна для дураков",

Сказал поэт. Сказавши, был таков.

Мы же - такие, то есть дураки...

"Жизнь продолжается рассудку вопреки",

Сказал другой поэт, давно таков,

Но тоже родом из страны для дураков.

Хоть здесь не жизнь, в Париже - тоже смерть.

Я не хочу в глаза ее смотреть.

А не смотреть возможно только здесь:

"Нет, весь я не умру..." - И вышел весь.

"В Европе холодно, в Италии темно..."

Какой дурак здесь прорубил окно?  
Чтоб не понять, откуда дует в .... ..  
Прости, Империя! Сдай умникам Европу,  
Закрой окно, обнимемся вдвоем,  
Два дурака, и, "глядь, как раз умрем".  
\* \* \*

Как безразлично "до свиданья"...  
Разлуке - встреч не обещаю.  
Как удалилось расстоянье,  
Как умалилось расставанье  
И как наполнилось "прощай!".  
Прощай! - другой судьбы не будет!  
Иль это было не со мной,  
Иль это не было судьбой?..  
Прости за все, а Бог рассудит.  
А ты - прощай, и Бог с тобой.

#### ПОСЛЕСЛОВИЕ I

И если автор имеет намерение говорить о таких вещах своим слабым, заплетающимся языком, то отчего не поговорить в доступной форме...

В коридоре старинной питерской коммуналки зазвонил телефон. Квартира была тиха, как бумага. Я снял трубку - просили мою тетку. Тетка была большой доктор и больной человек, мы ограждали ее от осады бесконечных вызовов.

Незнакомый и какой-то чуждый мне голос с чрезмерными придыханиями умолял меня все-таки позвать ее к телефону. Но тетки и впрямь не было дома. Ему этого было мало. Прознав, что я ейный племянник, он обратился ко мне, мальчишке, как к вышестоящей инстанции.

- Понимаете, - сказал он, - умирает великий русский писатель.

"Это что же у нас за великий русский писатель?" - ехидно подумал начавший пописывать молодой человек.

- Михаил Михайлович Зощенко, - услышал я.

О, я хотел бы, конечно, узнать теперь, что это был за интеллигентный, умный и смелый человек в 1958 году (постановление было отменено окончательно лишь к столетию А. А. Ахматовой).

Я, конечно, передал просьбу тетке, но без особой убежденности. В нашем недобитом, затаившемся семействе Зощенку не особо жаловали, конечно, не из-за постановления, а за то, что полагали его издевавшимся над поверженным классом.

Несправедливость! Зощенку не признавали свои. Впоследствии я неоднократно имел этому подтверждение.

И опять один Мандельштам оказался справедлив:

"Настоящий труд - это брюссельское кружево, в нем главное - то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы..."

У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенки. Единственного человека, который показал нам трудящегося, мы втоптали в грязь. А я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду.

Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!"

Но кто мог расслышать этот шепот убитого Мандельштама.

И вот Зощенке - сто лет, его смерти - тридцать шесть лет, постановлению о журналах "Звезда" и "Ленинград" - сорок восемь лет, отмене постановления пять лет. Зощенко был дворянин, офицер, имел Георгия за храбрость и еще две-три награды за боевые заслуги (какой-то там, скажем, Бант или Темляк на сабле за храбрость). Ему особенно везло в боях: он даже попал в первую в истории газовую атаку. Он был очень хорош собой,

любимец (и любитель) дам. Как офицер, он воспринял Постановление ЦК не как убийство, а как дуэль. Больше всего его возмутило слово "трус".

Он был невероятно знаменит, такой славы русский писатель еще не ведал. Возможно, такую знал Высоцкий, возможно, такую знает до сих пор другой Михаил Михайлович (Жванецкий). И тем не менее. Вот Зоценко плывет на теплоходе, нагруженном великими совписами, по Беломорканалу. Рейс, так справедливо осужденный в "ГУЛАГе" Солженицыным. Но вот чего нет в "ГУЛАГе". Мемуар одного совписа с борта: зеки, прослышав, что плывет такой корабль, высыпали на берег всем составом (согнаны приветствовать? сами?), дружно скандируя: "Зоценко! Зоценко!" Все совписы толпились на палубе (сами вообразите гамму их чувств), а Зоценко в это время лежал у себя в каюте в набриолиненном проборе, в белых парусиновых туфлях, начищенных самолично зубным порошком, лежал, красавец, усмехался, слыша крики с берега, и не выходил. У него болела голова.

Так что вот. Сначала - самый красивый, самый смелый, самый талантливый. Потом - самый знаменитый. Потом - самый убитый.

Я берусь утверждать и не хочу доказывать, что до сих пор, как и при жизни (а не только в годы гонений), Зоценко - самый непрочитанный, самый непризнанный, самый непонятый великий русский писатель советского периода. И окажется, что Зоценко меньше всех смешил, был патологически серьезен и всю жизнь писал не фельетоны, а очень толстые книги: "Голубую книгу" вместо "Мертвых душ", трилогию "Торжество разума" вместо "Выбранных мест из переписки с друзьями" и др. И первой такой толстой книгой были "Сентиментальные повести" аналогично "Петербуржским повестям". Он был еще молод, он был еще Гоголь. Мы предлагаем читателю нашу книжечку тоже в качестве толстой в смысле (бывали такие сборники, кто помнит): "Толстой о литературе", "Горький о литературе". Вот и Зоценко о литературе. "Пусть эта книга называется, ну, скажем, культурфильм. Пусть это будет такой, что ли, культурфильм вроде как у нас бывали на экране: "Аборт", или там "Отчего идет дождь", или "Каким образом делаются шелковые чулки", или, наконец, "Чем отличается человек от бобра". Такие бывают фильмы на крупные современные научные и производственные темы, достойные изучения".

Зоценко приравнивал труд писателя к изготовлению свинцовых белил. По вредности. Вот и надыхался.

5.08.94. У Коновалова.

#### ПРЕД-ВЕРИЕ

"В нем смерть уже гнездо свила",

А он не замечает это

Стоит под тяжестью ствола

И виден под упадком света.

На всякий случай он живет.

Жизнь не подарок, а работа,

И тает сок его, как лед,

И замерзает смертным потом.

Он дуб, он человек, он волк,

И ветки, руки, клочья шерсти

На нем живут по воле волн,

Чужой энергии и смерти.

Тот свет и этот в нем равны,

А в приговоре он не волен,

И под конвоем тишины

Ведут его, и он не болен.

Как умирающий здоров!

В нем силы борются пустые,

Давясь, он утром ест творог

И чувства чувствует простые.  
Он просит веры по ночам,  
Прощенья. Умоляет Бога.  
И беспокойствие к ногам  
Спешит - идти уже немного.  
Он спит, и, значит, он продолжит  
Вчерашний день не вспоминать.  
Пред ним живая Матерь Божья  
И мертвая родная мать.  
И снова листья шелестят  
На веточке отмершей ветви  
И защищают от преврат  
Гнездо в дупле с яичком смерти.  
24 октября 1994. Переделкино.

ОТСРОЧКА

(Сура 77)

Нас шлют вдогонку друг за другом,  
И мы летим во все концы,  
Оповещая, круг за кругом,  
Весну конца. Конца гонцы,  
Мы чертим грани различенья  
Добра и зла между собой,  
Предупрежденья иль прощенья  
Не возвестив своей трубой.  
Но что обещано, то будет...  
Но не сегодня, не сейчас.  
И грешник все еще подсуден  
Лишь в смерти. Как один из вас.  
А то, когда погаснут звезды  
И распадется небосвод,  
Вам не страшной шипов у розы,  
Что преподносит вам Господь.

28 марта 1995, штат Нью-Йорк.

Декабрь, 1995, Нью-Йорк.

ИЗ "ДНЕВНИКА ОТЦА"...

"Мысль пришла и прошла. Была.

Ничего нельзя восстановить, не создавая.

Даже вот такую мысль.

И еще одну: должна же быть хоть одна достоверная история в Истории человечества?

Чтобы уж не было сомнения, что была.

И вот есть одна такая... Единственная. Без тени.

История Иисуса.

Является ли мысль о множественности миров ересью?

Нет. Потому что Он был в этой множественности как единственно достоверный факт.

Он, единственный, выводит нас из этого дежа вю".

12 декабря 1995.

ПЕРВЫМ УМИРАЕТ ДОКТОР

Памяти Саши Ланского.

Вчера я был у него на приеме.

Он начал меня пользоваться с первого дня в Нью-Йорке. Страннейший глагол! это я начал его использовать с первого дня. По телефону и по блату. Наколку эту, естественно, дал мне Юзик. Изнеженное советское растение, я тут же изнемог от возросшего уровня жизни:

простуда, аллергия, дерматит, джетлег и дежа вю. Особенно последнее меня беспокоило. Не исключено - потому, что я наконец запомнил слово, то есть мог так назвать то, что со мной происходило.

Петля эта захлестывала меня, как правило, во время лекций. Слишком много я говорил! С безответственностью любимца публики. Я так и думал, что за это. Грех, возможно, был, но кара казалась мне чрезмерной. Петля захватывала и утягивала меня в некую дрожащую перспективу аудитории, с размытостью и постоянством лиц, продолжавших пристально разглядывать мое отсутствие за кафедрой; сам я, или только моя оболочка, в то же время продолжал свою работу говорения, все более опустошаясь изнутри и от нарастающей легкости чуть ли не взлетая над, все более состоя из одной лишь прозрачной, но противной и пугающей внутренней дрожи. Отсутствие какой бы то ни было боли при этом тоже пугало. Объяснить это состояние было трудно даже своему человеку, не то что доктору, да по-аглички, да за сто долларов. Слов тут не было - одно чувство.

Оно повторялось все чаще и все дольше не отпускало.

Хорошо, что я еще вспомнил это изысканное словечко дежа вю...

"Философ, поэт, душа..." - так характеризовал доктора Юзик. Это дорогого стоило, но еще дороже казалось мне читать его рукопись. И я все не шел. По телефону мы уже дружили домами. Доктор строил планы: "Вот вернется Иосиф из Европы, соберемся у меня с Юзиком и выпьем". Он пользовал и Иосифа, а не только меня с Юзиком...

Иосиф вернулся, перспектива, таким образом, приблизилась, но все-таки следовало до того оформить знакомство.

- Что ж вы хотите, - сказал он, терпеливо меня выслушав. - После всего, что на вас свалилось, вы прекрасно себя чувствуете. Главное, не бойтесь. Выпивать вам как раз можно. Только не пытайтесь понять болезнь. Вот этого нельзя. Это невозможно. Никогда не узнаете. И я не узнаю. Она только ваша. Что толку, если вам ее как-нибудь назовут? Я сам очень больной человек, я знаю, о чем говорю.

- А что у вас? - любопытствовал я.

- Да все у меня есть, что в нашем возрасте положено: и сердце, и печень, и все остальное.

Он угостил меня коньячком и не предложил мне рукопись.

"А что, может, и не такие плохие стихи", - подумал я.

Теперь все зависело от Иосифа: как только он решит со своей третьей операцией... Я представил себе наше собрание под рюмочку: Юзика, гордо демонстрирующего свой, от горла до пуза, шрам; Иосифа, снисходительно отвечающего ему своими двумя эвклидовыми, непересекающимися параллельными; себя, скромно демонстрирующего дырку в черепе, точно пулевое ранение; доктора, профессионально уступившего нам привилегию подобного хвастовства, - и мне стало весело.

Домой возвращался, бодро шлепая по лужам, с диагнозом "практически здоров".

На следующий день мы втроем подписали доктору некролог.

11 декабря 1995, Нью-Йорк.

## О МЫТЬЕ ОКОН2

Однажды скульптор, заведовавший отделом литературы в "ЛГ", пригласил меня к себе в мастерскую, не иначе как с тайной мыслью, чтобы я о нем написал. Он рассуждал про себя так: у этого парня плохи дела, но он неплохо написал о Сарьяне, пусть напишет про меня так же хорошо, и я напечатаю про Сарьяна.

Время было такое - после оттепели. Никиты уже не было, а коридоры посещенной им выставки все еще гудели от его топота. Все в нем было осуждено, кроме борьбы с абстракционизмом.

Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше... в моду вошло подбирать корешки и камешки, ракушки и сучья, что-нибудь, кроме себя, напоминавшие. Эти уродцы мертвой природы заполнили интерьеры клубов и первых кооперативных квартир, воспроизводились на цветных разворотах журнала "Огонек" - как-никак не абстракция, но и не социалистический реализм: беспартийное восхищение природой. Все эти пни и

Паны, лесовики и девы заполняли мастерскую скульптора в производственных количествах и донельзя меня раздражили.

Людам уже хотелось делать что-то для себя руками. С одной стороны, еще недавно не было такой возможности, с другой - они уже не умели. Полочки, шкафчики, постконенковщина.

Зря я на него так уж сердился - в своем восхищении "искусством природы" был он вполне искренен: взгляните, какой корень! вылитый Пришвин! мне почти ничего не пришлось менять - только вот тут и тут чуть подделал...

И действительно, чем меньше было следов его собственного искусства, тем более он восхищался, и в этом начинал проступать даже некий вкус.

Наконец он подвел меня, как оказалось, к завершающему экспонату. Это был причудливый серый камень размером и формой со страусиное яйцо. Такая, скорее всего, вулканическая бомба, похожая на сцепленные кисти рук. Непонятно было, как камень мог так заплестись, в точности воплощая детскую приговорку: где начало того конца, которым оканчивается начало? Так ровно и точно в то же время - ни ступеньки, ни зацепки, ни перехода. Этаким каменный философический концепт. Вещь в себе как таковая. Совершенно ни о чем. Совершенно...

- Правда, совершенно?! - сказал он тут же вслух. - Сначала я хотел вот здесь проявить девичий лик, видите? Буквально двумя штрихами... Но потом передумал: жалко стало что-либо менять.

Он ли сказал, я ли подумал: "портить".

В этом единственном, тысяча первом, экспонате он оказался наконец художником, автором финального шедевра. Он любил его.

Другой был режиссер документального кино. И он был художником без сомнения. Говорили о Пушкине, о "Медном всаднике".

- А для меня главная его вещь - "Гробовщик", - сказал режиссер. И пояснил: - Все, кого я успел снять, умерли. Я иногда боюсь себя и ненавижу свою профессию.

Я взглянул на него с пристрастием и тут же ему поверил.

И всплыл Петрополь, как Тритон,

По пояс в воду погружен.

Торжество этих строк всегда казалось мне приговором. Угроза строительства пресловутой дамбы - овеществленной метафорой.

Рассказывают также, ссылаясь на неведомые мне научные источники, что за последние годы, включающие годы аферы с дамбой, вода в Неве химически настолько активизировалась, что стала разъедать те самые сваи, на которых упрочены фундаменты великого города. Сваи эти, пропитанные специальными составами по старинным технологиям, рассчитанные на века, простояв по два века, не выдерживают натиска новейшей экологии. Так что Петрополь как всплыл, так и погрузиться обратно вскоре может. Бедствие такого рода грозит нам едва ли не больше, чем Венеции, но вряд ли вызовет в мире то же сочувствие.

Меня всегда занимал вопрос, трагический в своей праздности: в какой мере поспекает описание за реальностью - до или после? Торопились ли Линней или Брем описать живой мир в наличии прежде, чем тот начал катастрофически убывать? Успел ли Даль сложить словарь "живаго" русского языка, состоящий сегодня из слов, наполовину лишь в нем выживших? Предупредил ли Достоевский угрозу "бесов" или поддержал своим гением их проявление? Успела ли великая русская литература запечатлеть жизнь до 1917 года? а вдруг и революция произошла оттого, что вся жизнь была уже запечатлена и описана...

И как, в таком случае, обстоит с Петербургом? На случай, если он утонет?

Как ни странно, несмотря на наличие великого образа, выстроенного Петром и Пушкиным, несмотря на всю "петербургскую линию" в русской литературе, культуре и истории, в "окно" это все еще слабо видно Европу, еще меньше, быть может, виден с Запада Петербург. Само собой: заглядывая в окно и выглядывая из окна, мы видим

принципиально разные вещи. А образ на то и образ - вещь несущественная, нематериальная: ему отлететь едва ли не легче, чем потонуть городу.

В режиме советского времени, в сталинском загоне, культурное описание Петербурга-Петрограда-Ленинграда было остановлено, стало "дореволюционным", но и те книги не переиздавались; все, бессознательно и сознательно, склонялось к забвению. Забыть ведь - необходимое условие разрушения. Переиздание книг по Петербургу в последние годы гласности показало парадоксальную бедность ряда: Анциферов, Курбатов... Практически нет по Петербургу книг. Петербуржцу приходится заглядывать в то же мутное, непромытое окошко уже не Петербурга, а интуристского справочника, как и иностранцу. Оказывается, именно простую, а не гениальную работу сделать в России труднее всего. Чтобы точно, пропорционально, профессионально, а не только лишь тонко или блестяще.

Так что самое время, если уже не поздно, спешить описать Петербург.

Вопрос о том, сам ли пишет Соломон Волков, следует поставить иначе: сам ли он не пишет?

Действительно, что он написал сам?

Петербург есть, Ахматова была, и Шостакович, и Баланчин, и Бродский есть...

Но и русский язык был до Даля, Ушакова, Фасмера.

И пирамиды стояли до Шампольона, как продолжают стоять после него.

И стояли бы они без него, если бы его не было?

Ведь это именно он не дал их доворовать.

И где без Шлимана Троя?

Один стоит в камне, другой растворился в звуке, третий испарился в танце.

Это они ничего не написали сами.

Слишком популярной стала сентенция Булгакова, что "рукописи не горят".

Как только была опубликована. Словно она одна и не сгорела.

Не заговаривал ли автор свой роман этой колдовскою фразой? Не уговаривал ли?

Не умолял ли... но кого?

Никого рядом не было, кроме вдовы.

Где и как не сгорели "Воронежские тетради"?

О, вдовы!

Софья Андреевна, Анна Григорьевна...

Елена Сергеевна, Мария Александровна...

Надежда Яковлевна. Вот поворот.

Но ведь и Анна Андреевна - вдова!

Сама культура вдовствовала.

Мне уже приходилось писать о "Показаниях" Шостаковича в том смысле, что он почему-то именно Соломону Волкову их дал. И Баланчин никогда ни перед кем не "кололся"... В чем дело? Что, Соломон умнее, красивее, честнее всех, что ли? Один талант, возможно, есть: умение слушать. Более редкий, чем говорить и писать. И другой: рукопись у него не сгорит. Ему можно довериться, как вдове. Господи, как одиноки города и люди!

3 января 1996, Переделкино.

1 Написано к двухтомнику "Сентиментальных повестей", выпущенному к столетию Мих. Зощенко (М. 1994).

2 Написано по поводу выхода книги Соломона Волкова "Культурная история Санкт-Петербурга" (Нью-Йорк. 1995).

## "В лужицах была буря..."

### (Мания последования)

0

27 мая 2003 года Санкт-Петербургу исполнится 300 лет. Как потомственный петербуржец, урожденный ленинградец и блокадник, я воспринимаю это на свой счет. Приобретая некоторую амбицию в рассмотрении отдельно взятых пушкинских годов ("Предположение

жить, 1836" и "Вычитание зайца, 1825"), решил я поторопиться к дате, присоединив к своей "пушкиниане" и 1833 год, поскольку в 2003-м исполняется также и 170 лет "Петербургской повести", дата, в меру круглая. Что-нибудь вроде "Не дай мне Бог... 1833"... И уперся в такую полноту немoty (или немoty полноты), что равна лишь самой поэме.

С немoty и начнем. Пушкин подкрадывался к поэме, расписываясь (расписывался, подкрадываясь) за спиной "Родословной моего героя"... Вот заметки к "Родословной моего пушкиниста".

"Я имею обыкновение ставить дату..." 20.02.2002.

Говорят, подобная дата встречается раз в тыщу лет.

1

Я родился всего лишь через 100 лет после жизни Пушкина. (Тогда, в 1937-м, столетие гибели Пушкина отмечалось страной как "Всенародный праздник" заголовок передовицы в "Правде".)

1949... 150-летие Пушкина и 70-летие Сталина (между ними дистанция значительно короче). Мне поручают доклад о поэте. С добросовестностью того времени я прочитываю всего Пушкина подряд.

Наследники великого поэта,  
Пророчески предсказанные им,  
Как молодые рощи в час рассвета,  
Сомкнув ряды, мы весело шумим.

(1949, перевод с грузинского Н. Заболоцкого)

Вступление к "Медному всаднику" в 1949-м мы учили наизусть:

Люблю тебя, Петра творенье!

Торжественно, как "Союз нерушимый республик свободных!".

Как гимн Ленинграду это и воспринималось, не более. Но, впрочем, и не менее.

Тогда же балет Глиэра. Тоже гимн. Параша пляшет в одну сторону, Евгений в другую. То дождь, то снег - аплодисменты смене декораций.

1950... в школе проходилась уже другой текст:

"Со времени смерти Пушкина прошло свыше ста лет... Однако, если взять, например, русский язык, то он за этот большой промежуток времени не претерпел какой-либо ломки, и современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина".

...если взять, например... не претерпел... ломки... Чудесно!

1953... я должен получить паспорт в день 250-летия Ленинграда. Жду салюта в свою честь. Салют, как и юбилей, отменили в связи с протяженностью скорби по Иосифу Виссарионовичу.

Я Лермонтова тогда больше любил:

А он, мятежный, ищет бури,  
Как будто в бурях есть покой!

Пока однажды отец... наверно, он взял меня на рыбалку... с рассветом... И в воскресенье не выспаться бедному школьнику!

- Как это все-таки хорошо!

- Чего хорошего!.. - ежась, буркнул я.

- И, не пуская тьму ночную / На золотые небеса, / Одна заря сменить другую / Спешит, дав ночи полчаса... / - Как это хорошо!

Я посмотрел на золотые небеса и... увидел! С тех пор...

Спасибо, папа!

С тех пор... (Папе в этом году 100 лет.) С тех пор, возвращаясь белой ночью под утро домой, стараясь придумать себе оправдание, я неизбежно бормочу:

И ясны спящие громады / Пустынных улиц...

Какая точность! - восхищаюсь я, совпадая с ней физически, впечатывая шаги в этот бессмертный размер, и лицо мое приобретает невиноватое выражение.

Чем более я восхищался, тем менее понимал.

Я уйду по переулку,

Обломав себе рога.

Будут раздаваться гулко

Два шага, как два врага...

Попытка понять поэму превратилась в преследование, сходное по типу с описанным в поэме.

Странно, однако, что "Белеет парус..." и "Медный всадник" существовали некоторое время (1833-1836) одновременно в виде рукописи. Пушкин не знал, и Лермонтов не знал...

Насмешка неба над землей, 1833

Как будто в бурях есть покой, 1832

2

"Это была "Середина контраста" - работа Левы о "Медном всаднике". <...> Он прочитал сейчас о Государстве, Личности и Стихии - и охнул: Господи, неужели это он, Лева, написал?! <...> о середине контраста, о мертвой зоне, о немоте, которая есть эпицентр смерча, тайфуна, где - спокойно, откуда видит неуязвимый гений! Про главное, про гениальное, немое, опущенное, центральное - про ось поэмы!..."

("Пушкинский дом", 1970)

Хотелось бы мне сегодня заглянуть в черновики Льва Одоевцева! Что он имел в виду?? Иронизируя над его вдохновением, что имел в виду я сам?

Не более, чем то, что "Медный всадник" велик именно тем, что в нем НЕ написано: зияющей бездной между торжеством Вступления и нищетой Повести. Это я сам. А про "эпицентр смерча", что меня теперь особенно донимает, это не я, а Лева додумался. И сумел убежать от автора.

3

"А вот что окончательно и навсегда непонятно: как это у наших классиков выходило... От Пушкина до Блока - все непонятно как. Как можно было "Медный всадник"!.. Ума не приложу.

На берегу Варяжских волн / Стоял глубокой думы полн / Великий Петр. Пред ним катилась / Уединенная (река?).

Однажды близ пустынных волн / Стоял задумавшись глубоко / Великий муж. Пред ним широко / Неслась пустынная Нева.

Однажды близ Балтийских волн / Стоял задумавшись глубоко / Великий царь. Пред ним широко / Текла пустынная Нева / (и в море) Челнок рыбачий одиноко.

На берегу пустынных волн / Стоял задумавшись глубоко / Великий царь. Пред ним широко / (Неслась Нева). Текла Нева - Смиранный челн / На ней качался одиноко. I

"...По ней стремился одиноко..."

Что за удивительная ошупь! Нет, это не поиски слова. Это извлечение из... Откуда? Из чего-то сплошного, что представало поэту. Ни одно слово не совпадает в первом варианте первой строфы с конечным вариантом. Кроме разве точки посреди третьей строки, вокруг которой, как вокруг оси, и крутится водоворот вариантов. До чего же похоже на саму воду, на саму Неву!..

Еще потоптался:

Сосновый лес (по) берегам / В болоте - бор сосновый

Тянулся лес по берегам / Недостигаемый для солнца

И вдруг пошло! Как по писаному...

Чернели избы здесь и там

Приют убогого чухонца

Да лес неведомый лучам

В тумане спрятанного солнца

Поэма как бы не пишется - она проступает, словно она уже была, а Пушкин ее лишь достал оттуда. Откуда?

Головокружительно последовательное чтение черновиков поэмы. Она приподнимается, она растет, она проявляется (как фотопластинка, не при Пушкине будь сказано) - не последовательно слово за словом, строка за строкой, а - вся целиком, своим рождением еще раз повторяя рождение города и затопление его: И всплыл Петрополь как Тритон / По пояс в воду погружен.

Единство формы и содержания достигает такой степени, что уже непонятно, что чему подобно: едино так, что волну от строки не отличить. И не только потому, что сами мы тому не свидетели, все было именно так, как написал Пушкин. Как свидетелю и ему не повезло: и то вековое наводнение (1824), которому он мог быть свидетелем, которое могло бы его навести на опыт и на мысль, он "пропустил" - его наблюдал Мицкевич. Точна судьба! Конечно, Пушкин много "знал" и много "думал" до поэмы. И про Петра, и про Петербург, и про Россию, и про Стихию... Но как очевидно, что поэма подступала к нему не в виде накопленных впечатлений, мыслей и строк, а неразличимой, угрожающей, точной, немой массой, неким телом, уже бывшим вовне, уже существовавшим, требовавшим лишь непосильного воплощения.

И вот еще один признак истинной художественности произведения - его не могло не быть, когда оно уже есть. Немыслимы ни мы, ни что без этого. Никакой взаимозаменяемости. "Медный всадник" существует в этом мире на правах не предмета, а сущего - деревьев, облак, рек. Без него нельзя, нелепо, не... Без него мы не мы, себя не поймем. Он входит как кровь в историю и как история в кровь".

("Битва", 1982)

Возможно, это уже был момент, когда я почти понял КАК. Благодаря изданию поэмы в "Литературных памятниках", где все существующие слои ее оказались напечатанными последовательно, что и позволило представить себе ВСЮ поэму исходящей из ТОЧКИ. "...текла Нева. Смиранный челн..." Это уже не Лева, а я сам додумался... Сдаваясь перед непостижимостью поэмы, я упираюсь в мечту о некоем "сидироме", где все слои поэмы проявились бы сквозь друг друга на экране, как в моем мозгу, проявляясь от 6 октября 1833 года в окончательный текст. Думаю, именно непостижимость стала бы доступной.

4

Цепочка преследования разрасталась. Петр-Петербург-Фальконет-Пушкин-бедный Евгений-я сам... Тайна первого петербургского текста лишь углублялась. В 1969 году я задумал отправить потомка своего героя на времялете из 2099 (в канун 300-летия) в пушкинскую эпоху подглядеть, как это делалось...

"Впереди слабо светилось окно. Там, за ним, писался сейчас "Медный всадник"! <...> Да, горела свеча... да, лежал на крошечной коечке человек и так стремительно писал, будто просто делал вид, будто проводил волнистую линию за линией, как младенец... Как причудливо был он одет! В женской кофте, ночном колпаке, обмотанный шарфом... Но это был не Пушкин! Младенец был бородат и время от времени свою бородку оглаживал и охаживал, а потом снова проводил свою волнистую линию по бумаге".

("Фотография Пушкина", 1985)

Слишком просто! Но об этом и был рассказ, что попытка узнать, как Пушкин написал поэму, столь же доступна, как и попытка его сфотографировать.

5

Резо Габриадзе это отчасти удалось. Взяв себе в наперсники Пушкина-рисовальщика, он стал исследовать его творчество кончиком пера No 86. Нарисовать коня, а тем более всадника - экзамен для рисовальщика! Среди сотен его рисунков с Пушкиным есть несколько легких шедевров, запечатлевших творческий процесс... Вот Медный Всадник скачет по листу его рукописи... Вот он скачет между Пушкиным и прекрасной дамой... Вот он скачет на его цилиндре... Вот Пушкин расслабился, лег на спину, руки за голову, нога на ногу - и тут нет покоя! - Медный Всадник гарцует у него на колене. Вот Пушкин уже сам на коне, сам Медный Всадник...

Ни одной ошибки в образе!

Так родился замысел цикла открыток "Как писался "Медный всадник"": с одной стороны его картинка, с другой - мой текст. Издать не удалось.

6

Осенью 1996 года мне повезло преподавать в Принстоне. Поскольку я был ненастоящий профессор, а то, что называется visiting, мне было позволено прочесть самый своевольный курс по Пушкину. И я рискнул перед десятком благожелательных аспирантов (в основном русского происхождения, знавших и любивших Пушкина не менее меня) прочесть Пушкина вспять: от смерти к рождению, воскрешая его, а не хороня. То была давняя моя мечта, поддержанная идеями нашего сокровенного философа Федорова, мечта, которую мне не удавалось (да и не удастся) осуществить в письменном виде. Мы читали Пушкина от "Письма Ишимовой" к лицейским стихам, все более увлекаясь. Тезисы и постулаты, провозглашенные во вводной лекции, о единстве ВСЕГО пушкинского текста наглядно подтверждались. Особенно подтвердился постулат о памяти Пушкина в отношении всего своего текста, опубликованного и неопубликованного, законченного и незаконченного; о безотходности его производства. Это было, конечно, преувеличение, что я прочитал всего Пушкина в 1949 году... так, в 1996-м я многое читал впервые.

Свод неба мраком обложился;

В волнах варяжских лунный луч,

Сверкая меж вечерних туч,

Столпом неровным отразился.

Качаясь, лебедь на волне

Заснул, и все вокруг почило;

Но вот по темной глубине

Стремится белое ветрило,

И блещет пена при луне;

Летит испуганная птица,

Услыша близкий шум весла.

Чей это парус? Чья десница

Его во мраке напрягла?

Их двое. На весло нагбенный,

Один, смиренный житель волн,

Гребет и к югу правит челн;

Другой, как волхвом пораженный,

Стоит недвижим; на брега

Глаза вперив, не молвит слова,

И через челн его нога

Перешагнуть уже готова.

Плывут...

<.....>

...И входит медленной стопой

На берег дикий и крутой.

Кремень звучит, и пламя вскоре

Далеко осветило море.

Суровый край! Громады скал

На берегу стоят угрюмом;

Об них мятежный бьется вал

И пена плещет; сосны с шумом

Качают старые главы

Над зыбкой пеленой пучины;

Кругом ни цвета, ни травы,

Песок да мох; скалы, стремнины

Везде хранят клеймо громов

И след потоков истощенных,  
И тлеют кости - пир волков  
В расселинах окровавленных.  
("Вадим", 1822)

Писанное в инерции романтических поэм, подобное начало вполне могло показаться Пушкину несколько вялым и закономерно было заброшено. Соблазнительная география "Юг-Север" не сработала. Остался Юг, качественно по-новому завершённый "Цыганами". Но что же "Вадим", как не попытка описать петербургскую землю до Петра! "Чей это парус? Чья десница?.."

На берегу пустынных волн...

Если бы я был настоящим пушкинистом, я бы и то не доказал, что эта незрелая попытка не является непосредственной предшественницей прославленного Вступления.

7

Неумолимо приближался 1999 год, мстя Александру Сергеевичу очередной, хотя и последней в этом веке и тысячелетии, идеологической расправой. Я торопился со своей лептой. Проектов было слишком много. Не все удалось...

Не нашлось денег на наши с Резо Габриадзе "Мифологические опыты", зато, с помощью М. Н. Виролайнен и О. В. Морозовой, успело "Предположение жить, 1836". Блестящий наш с Резо проект кукольного спектакля "Метаморфозы" в Веймаре - о не убитом, а счастливо бежавшем из России Пушкине - тоже в последний момент не задался, зато 10 мая 1998 года, совершенно неожиданно, в Нью-Йорке, воплотилась давняя мечта сделать пушкинские черновики доступными широкой публике с помощью... джаза! Черновик, как-никак, первый отпечаток вдохновения гения, а что еще требуется для джазовой импровизации? Черновик (тоже black, черновик Пушкина - русский Afroamerican) через месяц мы играли уже на филфаке Петербургского университета: из окна, через Неву, был виден Медный всадник, пришлось его и читать:

Он был чиновник небогатый,

С лица немного рябоватый...

Публика нам поверила: что правда, то правда.

8

Что получается, то получается. Не то, что думал.

Прозаик Игорь Клех, с которым мы работали над сценарием телефильма "Медный Пушкин", торопясь все к тому же 6 июня 1999 года, привел вдруг издателя "Библиотеки утопий" Бориса Бергера. Заказчик требовал немедленно новый текст "про Пушкина". Инерция предъюбилейной гонки была так велика, что я тут же смонтировал ему некий коллаж о "Медном всаднике" на основе наших с Резо затей. Мы расстались восхищенные такой скоростью. Ровно через час издатель позвонил, рыдая: у него украли портфель, в том числе с моей рукописью. Горе его показалось мне неподдельным, я восстановил текст. Самое удивительное, что он-таки оказался деловым человеком и опубликовал его. Это такой полиграфический постмодернизм, что прочитать текст невозможно.

Пора было начать разбираться в собственном тексте.

То есть обратиться к Пушкину.

"<...>Что это у вас? потоп! ничто проклятому Петербургу! *voila une belle occasion a vos dames de faire bidet.* П Жаль мне Цветов Дельвига; да надолго ли это его задержит в тине петербургской? Что погребя? признаюсь, и по них сердце болит. Не найдется ли между вами Ноя, для насаждения винограда? На святой Руси не шутка ходить нагишом, а хамы смеются. Впрочем, все это вздор. А вот важное: тетка умерла!"

(Пушкин - Л. С. Пушкину, нач. 20-х чисел ноября 1824 г., Михайловское)

"<...>Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег. Но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного. Ничуть не забавно стоять в Инвалиде наряду с идиллическим коллежским ассессором Панаевым. Пришли же мне Эду

Баратынскую. Ах он чухонец! да если она милее моей Черкешенки, так я повешусь у двух сосен и с ним никогда знаться не буду".

(Пушкин - Л. С. Пушкину, 4 декабря 1824 г., Михайловское)

Что это, как не точка? Ни один пушкиноведа не может опровергнуть, что это не зарождение замысла: "Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному..." Из евгеньевских денег. Уверенно датирую зародыш замысла 4 декабря 1824 г.

9

Не только у меня время, но и у Пушкина. Ему тоже понадобится почти 11 лет!

"Милая женка, вот тебе подробная моя Одисея. Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю. Приключения мои начались у Троицкого мосту. Нева так была высока, что мост стоял дыбом; веровка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Черную речку. Однако переправился через Неву выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их с пятьдесят. В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами. По счастью ветер и дождь гнали меня в спину, и я преспокойно высидел все это время. Что-то было с вами, Петербургскими жителями? Не было ли у вас нового наводнения? что если и это я прогулял? досадно было бы. На другой день погода прояснилась<...>".

(Пушкин - Н. Н. Пушкиной, 20 августа 1833 г., Торжок)

Без комментариев. Беспечность тона граничит с кинизмом. "Досадно было бы". Что досадно? Не написать поэму. Она уже клубится в лужицах, болота волнуются белыми волнами...

Поэта не остановишь, но и приступить риск. В дороге он притормаживает..

"Перед отъездом из Москвы я не успел тебе написать. Нащокин провожал меня шампанским, жженкой и молитвами. Каретник насилу выдал мне коляску; нет мне счастья с каретниками.

<...>Жена его тихая, скромная не-красавица. Мы отобедали втроем и я, без церемонии, предложил здоровье моей имянинницы, и выпили мы все не морщась по бокалу шампанского. Вечер у Нащокина, да какой вечер! шампанское, лафит, зажженный пунш с ананасами - и все за твоё здоровье, красота моя. На другой день в книжной лавке встретил я Н. Раевского. *Sacre chien*, сказал он мне с нежностью, *pourquoi n'etes-vous pas venu me voir?* - *Animal*, отвечал я ему с чувством, *qu'aves-vous fait de mon manuscrit petit-Russien?* III После сего поехали мы вместе как ни в чем не бывало, он держит меня за ворот всенародно, чтоб я не выскочил из коляски. Отобедали вместе глаз на глаз (виноват: втроем с бутылкой мадеры). Потом, для разнообразия жизни, провел опять вечер у Нащокина; на другой день он задал мне прощальный обед со стерлядями и с жженкой, усадил меня в коляску, и я выехал на большую дорогу".

(Пушкин - Н. Н. Пушкиной, 2 сентября 1833 г., Нижний Новгород)

Так стремиться к замыслу и так от него бежать... До чего же нормальный человек Пушкин!  
10

"<...>Вот уже неделю как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пугачеве, а стихи пока еще спят. <...>Я что-то сегодня не очень здоров. Животик болит<...>"

(Пушкин - Н. Н. Пушкиной, 8 октября 1833 г., Болдино)

"<...>Не мешай мне, не страшай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай с царем<...> Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу - и привезу тебе пропасть всякой всячины<...> Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пишет - перед ним стоит штоф славнейшей настойки - он хлоп стакан, другой, третий - и уж начнет писать! - Это слава".

(Пушкин - Н. Н. Пушкиной, 11 октября 1833 г., Болдино)

Когда же он написал поэму?? 8 октября "стихи пока еще спят", а помета у начала первой черновой рукописи - 6 октября, а 11 октября - "хлоп стакан" и "Это слава". Следующее письмо через 10 дней: скорее скучает по семье и городской жизни, чем пишет.

Следующее уже от 30 октября:

"Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? Во-первых, отпустил я себе бороду. Ус да борода - молодцу похвала; выду на улицу, дядюшкой зовут. 2) Просыпаюсь в 7 часов, пью кофей, и лежу до 3-х часов. Недавно расписался, и уже написал пропасть. В 3 часа сажусь верхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем да гречневой кашей. До 9 часов - читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо".

Какое довольство, какое счастье в этих строках! Первая помета об окончании поэмы - 29 октября, вторая - 30, когда и письмо, третья - 31...

Молодцу похвала...

Возвращается он еще охотней, чем уезжал. Киреевский в письме Языкову так свидетельствует об этом: "Когда Пушкин проезжал через Москву, его никто почти не видал. Он никуда не показывался, потому что ехал с бородой, в которой ему хотелось показаться жене".

Так что фраза из отчета нашего безумца Игоря, что Пушкин написал "Медного всадника", "пощипывая отрастающую бородку", также является подлинным, единственно живым свидетельством очевидца об истинных обстоятельствах создания шедевра ("Вычитание зайца", 1992).

11

Отказ от правки "Медного всадника" (август 1836), совпадающий с написанием "Памятника", - одна из сторон пушкинского подвига ("вещи сокрытой"). Он не убил ожившего кумира, сам обронзовев. И "Памятник" застыл водоразделом Пушкина мертвого и Пушкина живого в нашем сознании.

Он сохранил "Медного всадника" как настоящий, ЦАРСКИЙ памятник СЕБЕ.

Теперь скульптура Фальконета такой же памятник Пушкину, как и Петру, и более памятник Пушкину, чем Аникушин и Опекушин ("Предположение жить", 1984). Здесь, если исключить недостойную ревность к достойнейшим работам наших скульпторов, я совершенно сам с собою согласен. К двум предстоящим датам (300 и 170) прибавлю еще 240... в 1763 году (60-летие Петербурга) Екатерина написала проект: "во славу блаженной памяти императора Петра Великого поставить монумент".

Петр-Петербург-Екатерина-Фальконет-Пушкин - соавторы.

12. Глаз бури

В 1996 году в Принстоне мне выпала счастливая возможность быть представленным одной замечательной даме ста трех лет от роду, хорошо знавшей Эйнштейна. В жизни не встречал столетнего человека! (99 встречал, и не однажды, а 100 ни разу.) И вот! Она в каталке, я на стуле; держу спину. Чай, сыр, виноград... В Принстон она приехала из Швейцарии, но родом была из Бельгии, и родным ее языком был французский. Я застал ее за перечитыванием Пруста от корки до корки; это был в ее жизни восьмой раз. Поскольку я из России, она меня спросила, знал ли я Ленина и Троцкого, которых ей как-то раз показали в одном швейцарском кафе. Это было еще до первой мировой... "Они же еще никому не были известны..." - как мог осторожно усомнился я. "Ну да, согласилась она, - они же были великие конспираторы!" Я постарался подвести разговор поближе к Эйнштейну. Она округлила глаза от ужаса: "Oh, he was a very dangerous man!" (О, он был очень опасный человек!) Взяв горячий след, я поинтересовался, почему так уж дэнжерес. "He liked boating" (Он любил кататься на лодке) - был зе ансе (ответ). Тут уже я округлил глаза: почему?! (уай?! "Лодка могла перевернуться", - без раздумья ответила дама. "Он что, не умел плавать??" - перепугался я. "Сами посудите, - резонно возмутилась дама, - как ему плавать с его трубкой и гривой!" (виз пайп, гриву она показала).

Сомнений, что она хорошо знала Эйнштейна, быть не могло.

После этой встречи я окончательно утвердился в своем праве.

Я дописывал в это время "Погребение заживо" (воспоминания о великих современниках, с Пушкина и Гоголя начиная). Там, в главе "Тонкие тела", описывая свои встречи с великими во сне (в частности, с Достоевским и Чеховым), я с разочарованием

признавался: "Пушкин не приснился ни разу". А тут на днях снится мне мать и спрашивает, что это я написал про "Медного всадника"... "Тебе зачем?" - "Он хотел взглянуть". Почему-то нет сомнения, что "он" - это Пушкин. "Неужели ему интересно? - с недоверием, в котором слишком много энтузиазма, спрашиваю я. - У меня же еще ничего нет!" - "Дай, что есть". Я роюсь в поисках текста, и все одной странички не хватает. А матери уже пора... Досада.

А странички - не хватает.

Попробую вспомнить...

Раз уж я запустил в 1969 году своего времянавта Игоря Одоевцева из 2099 года в пушкинскую эпоху подсмотреть, как дело было, почему бы не подумать о нем сегодня? Доживи Пушкин до наших дней, писал бы он на компьютере? Любил бы джаз? Водил бы машину? Летал бы на самолете? Смотрел бы телевизор?

...От этой передачи о катастрофах он бы не оторвался, как и я. Этот сгусток тайфунов, торнадо, самумов, ливней, гроз, молний, лавин, пожаров, извержений, землетрясений, наводнений... На какой земле мы живем! ("Земля планета из солнцевской группировки", - пошутил на днях Юз Алешковский.) Наводнения, оказалось, до сих пор (начиная с Ноя) наиболее грозное из стихийных бедствий, чемпион беды. Слово "катастрофа" в словаре Пушкина не встречается. Каким-то другим словом обнимает он все эти явления, втягивая в его орбиту и другие, более человеческие страхи и страсти, такие, в частности, как игра и безумие. Это слово насквозь звучит в его тексте, ты его слышишь и не можешь повторить, потому что - забыл. Может быть, Жизнь??

"Не надо без надобности умножать количество сущностей"... Не знаю, слышал ли Пушкин про "бриту Оккама", но правило это хорошо знал. У него был слух...

Жизнь - слишком всеобъемлющее понятие, чтобы быть осмысленным.

"Кончена жизнь. Жизнь кончена" - будут последние его слова, с той же гениальной зеркальной точкой посередине.

Слова "катастрофа" у Пушкина нет.

Однако в "Программе записок", писанной Пушкиным той же осенью 1833-го, читаем: "Первые впечатления. Юсупов сад - Землетрясение. - Няня. Отъезд матери в деревню. - Первые неприятности. - Гувернантки. (Ранняя любовь.) - Рождение Льва. - Мои неприятные воспоминания. - Смерть Николая".

Равноправие землетрясения с основными детскими потрясениями наводит на мысль.

ДАЛЬШЕ ЧТО?

Землетрясение - это еще в Москве. То ли, когда он гулял в Юсуповом саду, то ли няня рассказала...

1812 год застаёт его уже в Лицее. "Завидую тому, кто умирать / Шел мимо нас..." Вести о пожаре в Москве - Москва все еще его родина.

Следующее - уже море. "Прощай, свободная стихия!" (1824). "Шуми, шуми, послушное ветрило / Волнуйся подо мной угрюмый океан".

Потом - горы: "Кавказ подо мною. Один в вышине / Стою над снегами у края стремнины..." (1829).

Стихия - внизу. Пушкин царит, парит над стихией.

Саранча - "все съела и опять улетела".

Страсти - карты, любви - все это в романтизме поэм. Венец - Алеко с кинжалом. Дальше - история. История как стихия воплощена в "Годунове". "Народ безмолвствует" - не проекция ли сходящего с ума маленького человека?

Кризисы типа "что делать?": стреляться, бежать за границу, жениться? преобразуются в творческие взрывы 1825, 1830, 1833 годов, сравнимые со стихийными бедствиями.

Стихии природы, страсти, азарта, битвы, гения и судьбы сплетаются воедино - в безумие мира.

Мчатся, сшиблись в общем крике...

Посмотрите! Каковы?..

Делибаш уже на пике,  
А казак без головы.  
Есть упоение в бою,  
И бездны мрачной на краю,  
И в разъяренном океане,  
Средь грозных волн и бурной тьмы,  
И в аравийском урагане,  
И в дуновении Чумы.  
И я б заслушивался волн,  
И я глядел бы, счастья полн,  
В пустые небеса.  
И силен, волен был бы я  
Как вихорь, роющий поля,  
Ломающий леса...

Хочется, конечно, чтобы "Не дай мне Бог сойти с ума" так же принадлежало 1833 году, как "Пиковая дама" и "Медный всадник". Как свиваются в нем стихия бури и безумия в один образ! Победа над безумием - не метафора для поэта, а подвиг духа. Природа гармонична лишь под взглядом, внизу. "Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?" - вопрошает поэт в день рождения, на подступах к "Полтаве", очередному осмыслению безумства исторического:

Лик его ужасен, / Движенья быстры. Он прекрасен.

Петр на поле битвы как будущий Германн за игорным столом.

В безумии вдохновения 1830 года пишутся и "Бессонница", и "Бесы":

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне.

Я понять тебя хочу,

Смысла я в тебе ишу.

Что безумие не только в тебе, не только в твоём окружении, а в самой Природе - страшная метафизика!

Равнодушие и насмешка... Никто после Пушкина не найдет этих слов.

...А по телевизору, где-то на дне океана, произошло извержение вулкана, которого никто не наблюдал. Но посреди океана, над вулканом, спроектировалась точка. Точка эта ожила, повернулась, прихватив соседней воды, свилась в вороночку, воронку, приподнялась, разрастаясь, поползла по необъятной поверхности, как карандаш по бумаге, как джинн из бутылки, как перст указующий, вращаясь и превращаясь в столп, вздымаясь, как взывая, к небу. Изначальная серость наливалась, расширяясь, чернотой. И вот уже будто не из океана, а с неба на землю опустился, вонзился в гладь океана гигантский черный клык: высоко в небе, черным воротничком, обозначилось конечное кольцо: эта дьявольская трубка окончательно раскурилась, поднося свой чубук то ли к Японии, то ли к Курилам... В голубом небе легкомысленно серебрился самолет-исследователь, приближаясь к клубящемуся черному конечному краю кольца. "Сейчас нас немного потреплет, - с профессиональным шиком комментировал пилот, - мы влетаем в ГЛАЗ БУРИ. Там уже будет спокойно".

Глаз бури! (По-русски это звучит еще и как "глас бури". Ментальная путаница гласности и прозрачности...) Я был очарован и зачарован: самолетик влетал в серо-черное клубящееся варево, болтало, и вдруг... Тишина и покой; небо еще голубее, чем снаружи, наверно потому, что окружено черным кольцом. Мы пересекали глаз по диаметру. "Влететь - что, - сказал летчик, - вылететь - вот проблема!" Однако он уверенно вылетел. Нас пожевало и выплюнуло в просторные, хотя и более бледные небеса.

Что долгосрочнее, легенда или миф?

Летчик оказался археологом, произведя раскопки в небесах.

Лермонтов влетел, Пушкин - вылетел. Если Лермонтов - легенда, то Пушкин миф.

Светлый тайфун, прогулявшийся по России, наведя хоть какой порядок в ее перманентной разрухе.

Все мои робкие метафоры и образы, полвека сопровождавшие меня при мысли о поэме Пушкина, были перекрыты этой кинохроникой. Зеленое сукно игорного стола, ширь небес или океана, поле битвы, ясность сознания - все сошлось в этом глазе бури. В него можно влететь, но из него надо и вылететь... "Не дай мне Бог сойти с ума..." Даже последняя дуэльная история поэта представилась мне не роком, а выбором.

Не знаю, как исследователи подбираются к одновременности написания "Медного всадника" и "Пиковой дамы". Обобщает их не только дата написания, но и безумие героя. Тема или опыт? Если Петр это тема, то безумие если и не опыт, то грань любви и веры. Не плод воображения.

Пушкин всегда предпочел бы гибель безумию. Он был нормальный человек.

Безумие Петра и Петербурга, власти и стихии, государства и личности, России и истории, поражения и победы, проигрыша и выигрыша, безверия и веры нормализовано его текстом.

СПб., 5 мая 2002, Пасха

I Черновики цитируются по изд.: А. С. Пушкин. Медный всадник. Л., "Наука" ("Лит. памятники"), 1978.

II Вот прекрасный случай вашим дамам подмыться (фр.).

III Сукин сын, ...почему не пришел ты со мной повидаться? - Скотина, ...что сделал ты с моей малороссийской рукописью? (фр.)

## **А. Соколов**

### **Об авторе:**

#### **О ВСТРЕЧАХ И НЕВСТРЕЧАХ**

*С Сашей Соколовым беседует Владимир Кравченко*<sup>86</sup>

86 Впервые текст этого интервью с Сашей Соколовым был опубликован в альманахе «Ясная поляна» (№2 1997), выходявшем под редакцией Владимира Толстого, директора усадьбы Ясная поляна и правнука великого писателя. Тираж был небольшим и быстро разошелся. Идя навстречу многочисленным пожеланиям друзей и знакомых, среди которых немало горячих почитателей творчества Саши Соколова, выставляю в своем блоге полный текст этого большого (2 а.л.) интервью в надежде, что Володя Толстой на меня не останется в обиде.

Предлагаемая беседа (цикл бесед-вечеров под диктофон) с Сашей Соколовым состоялась во время его приезда на родину в 1990 году в подмосковном поселке Планерная, где он прожил зиму с женой Марлин, писал новый роман и скрывался от всех, не без оснований опасаясь сведения счетов. Те, кто прочел "Палисандрию", поймут, из каких сфер могла исходить опасность. Оказывается, поплатиться можно было не только за политику, но и за эстетику, за художественную дерзость и талант.

Это были прекрасные дни декабря-марта 89-90 года. Днем мы работали в своих комнатах пансионата «Правда», катались на лыжах, а вечера проводили за неспешными разговорами за чашкой чая. Говорили обо всем – о литературе, эмиграции, судьбе художника в нашей стране и за рубежом, о политике, которой были переполнены все газеты, журналы, сводки теленовостей. Ощущение перемен, грандиозности надвигающихся на нас событий было определяющим.

Я еще не знаю, что спустя год превращусь в издателя Саши Соколова, пустившись в рискованную авантюру, успею выпустить в обход руководства «Школу для дураков» фантастическим по нынешним меркам тиражом в 300 тыс. экземпляров (Сб-к «Вкус», изд. «Правда», 1991) в самый канун полного краха рубля и страны. Гонорар в 4500 руб, когда мы вновь встретимся с Сашей, прилетевшим на 3 дня в Москву на торжественную церемонию присуждения ему Пушкинской премии Топфера, усохнет до 1 американск. рубля, каковой я, как всякий честный издатель, и вручу ему в номере гостиницы «Будапешт», после чего мы разопьем прихваченную нами с банкетного стола бутылку красного вина, отмечая благополучное завершение сделки. Бессребреник Саша легко утешится соображением, что «Школой для дураков» оказались засеяны все вокзальные и газетные ларьки Союзпечати от Калининграда до Сахалина, выразившись в том смысле, что посев научный да взойдет для жатвы народной...

Как писалось в нашей критике, с момента выхода "Школы для дураков" в русской литературе что-то изменилось и произошло, появился то ли новый звук, то ли свет. Редкая судьба, удивительная удача. Удивление от того, что, оказывается, можно делать с русским языком, с красотой мира, с нежностью его. Со всеми нами. Грусть всего человека, текучего и мечтательного, затерянного в горах и снегах Ньюфаундленда,

*В.К. “Так, но с чего же начать, какими словами ?..” Я не случайно решил начать наш разговор с цитаты, с первых строк твоего первого романа, где, как мы помним, речь идет о правильности словоупотребления - “околостанционный” или “пристанционный пруд”, т.е. с первых же строк ставится и решается чисто языковая проблема, которая еще не раз и не два будет возникать по ходу повествования. Это проза высокого стиля, литературных реминисценций и языковых трансформаций, где все живет на грани поэтической необязательности, детской игры, где каждое слово как бы пробуетеся на зубок, блестит отмытой гранью. Это проза свободного и глубокого художественного дыхания. Но за этой внутренней свободой и культурой слова угадывается серьезная читательская школа вовсе не для дураков.*

*Для начала расскажи о своей библиотеке. Какие книги и в каком порядке стоят на полке писателя Саши Соколова?*

*С.С. Парадокс состоит в том, что нет ни книг, ни полок, Книг во многом нет потому, что нет полок. Конечно, где-то они стоят, эти книги, вернее, они лежат в ящиках, оставленных у друзей и знакомых. Вся моя библиотека рассеяна на двух континентах по разным странам: в Канаде, в Европе в нескольких странах тоже кое-что осталось... Причем, я всякий раз оставлял не только книги, но и фактически все вещи, которые у меня были, чтобы ничем не обременять себя при переездах. Я оставлял все у друзей в надежде, что когда я наконец обрету постоянное местожительство, то соберу каким-то образом все эти книги, или мне пришлют их..... Потом уже я понял, что никто не пришлет мне никаких книг, даже если я очень попрошу об этом, потому что все эти люди русские люди, эмигранты, которые ничего не пришлют. . .*

*В.К. Ага, понятно - заиграют. По отечественной привычке зачитают все твои книги.*

*С.С. Конечно. И поэтому мне придется летать самому, брать машину напрокат и повсюду ездить, потому что не на себе же таскать эти книги. А это обойдется в огромные деньги. Потом уже по здравому размышлению я понял, что библиотека моя не состоится из-за моего образа жизни. Несмотря на свою духовную сущность, книга остается вещью, а любая вещь закрепощает. Но все-таки я что-то читал, напрасно меня обвиняют, будто я ничего не читал. Читал я примерно то же, что и все, я считаю себя нормально по нашим временам среднеобразованным человеком. Я же все-таки закончил университет, я же прочитал все эти книги, которые были в программе факультета журналистики.*

*В.К. Как-то ты сосрился, что из советской литературы читал одного Гайдара.*

*С.С. Гайдара я читал в школе, это действительно очень хороший писатель. Да я не сосрился, я действительно почти никого не читал из писателей советского периода. Мне это было не очень интересно. Даже в университете я умудрился сдать экзамен по советской литературе, ничего не прочитав из нее. Я хотел бы тут сказать вот что... Ты знаешь о теории 30 великих книг? О ней нам настоятельно напоминали в университете. Согласно этой теории вся история мировой литературы укладывается в 30 основных томов. Достаточно прочитать их, и потом уже можно ничего не читать, потому что в них уже все есть. Наверное, ты знаешь это по себе: наступает момент, когда ты продолжаешь читать, но уже ничего не получаешь. Я эти 30 книг прочитал.*

*В.К. Можешь перечислить?*

*С.С. Это все основная классика. Начиная с Библии. “Песнь о Роланде”. Исландские саги, Данте, Рабле, Сервантес, Шекспир, безусловно... Я ничего нового не открываю. Одна из них Толстой, по-моему, ” Анна Каренина”. Достоевский “Братья Карамазовы”. Я как-то уже нескольким людям составлял этот список, все мы знаем его, ничего нового и загадочного в нем нет. По сути дела, меня в университете интересовала только*

---

оторванного от родины, читателей и друзей, спустя год поздравляющих его с исполнившимся пятидесятилетием. (Прим. автора интервью)

литература, все остальное я отметал. Я жил всем этим, очень много читал. У меня была масса каких-то теоретических рассуждений. В то время я думал, что, может быть, останусь в аспирантуре после окончания университета. Я собирался заняться теорией литературы. Это был довольно короткий период, 2-3 года увлечения именно теорией литературы. А потом я понял, что я все-таки практик, решил, что надо заниматься практической работой, писать профессионально. Поэтому я на 3-ем курсе перешел на заочное отделение и уехал в провинцию. И очень благодарен себе за это решение, там я научился писать по-журналистски - за счет свободы, которую я получил, потому что там не было серьезной опеки. Я жил в Марийской республике, в селе Морки. В этом глухом селе, в 100 километрах от Йошкар-Олы, почему-то была многотиражка. Хм... Ужас. Я никогда бы не поехал туда сейчас.... Я провел там год, это была очень хорошая школа. Я печатал в нашей маленькой газете все, что хотел, без всякой правки. Вернулся в Москву уже сложившимся журналистом и меня сразу взяли в "Литературную Россию". Это была уже следующая ступень литературной учебы. Так что после окончания университета, когда мои однокурсники по дневному отделению еще только искали точку приложения своих сил, я стоял уже на ногах. В "Литературной России" было много всякой подсобной работы, мне тяжело было работать там, но как раз это мне потом пригодилось. Это была удивительная пора, пора интересных встреч с писателями, авторами "ЛР". Тогда "ЛР" была другой, не такой, как сейчас, редакция находилась в одном здании с "Литгазетой", и все это было очень важно и интересно. Но потом я уже понял, что на этом пора поставить точку - поэтому я ушел из "ЛР". И, по сути, никогда уже не возвращался к журналистике, и вообще к такой вот работе в штате. Я решил, что надо писать свою прозу, а проза требует отрешенности, я считал, что ее нельзя писать, работая в штате и живя в шумном городе. Во всяком случае, такую прозу, какую я хотел писать.

В.К. А почему ты после школы поступил в военный институт иностранных языков?

С.С. Потому что надо было куда-то поступать. К тому времени, поработав уже в морге, я понял, что врача из меня не выйдет. Это была моя первая работа после школы - препарат в морге.

В.К. Ты сам резал трупы? Можешь чуть-чуть рассказать об этом?

С.С. Ну, а что рассказывать, обычная такая работа...(Смеется) Я планировал быть врачом. Понимал, что лучше было бы пойти в Литинститут, но были и другие соображения - я чувствовал, что еще не готов для Литинститута...

В.К. Но ты уже хотел писать?

С.С. Да, конечно, я с самого детства уже писал.

В.К. А с какого момента?

С.С. Наверное, с того момента, как я научился писать. Я писал, что придется, никакого толчка к этому не было, потому что в человеке, предназначенном к этому делу, живет внутренняя тяга к писанию, уже в раннем возрасте в поэте просыпается какая-то музыка или ритм... Музыка языка. У меня однажды спросили: как вы вообще начинаете писать?.. В зале сидела тысяча человек. Я сказал, что не знаю, это нельзя объяснить, просто внутри рождается какой-то ритм...

В.К. Бунин говорил, что у него сначала рождается звук...

С.С. Вот именно - звук, я так и сказал тогда, что вот - звук, а меня спросили: а вы можете объяснить, какой звук?.. Но это необъяснимо. И это было всегда так. Вот сколько я помню себя, я всегда писал. О чем - не имело никакого значения, так же как и сейчас, ведь цель - само писание, создание образов, текста, а не утверждение идеи и не

самоутверждение, как нас учили в наших школах. Весь мой писательский опыт противоречит тем догмам, которые висели над нами дамокловым мечом в наших университетах. Помню, что я всегда писал какие-то рассказы, никогда их не заканчивал, конечно, просто не знал, чем закончить...

В.К. Ты ведь начинал как поэт?

С.С. Да нет, стихи и прозу я начал писать одновременно. Я придумал этот термин - проэзия - чтобы обозначить то, что я делаю, потому что это и не проза, как ее сейчас понимают, и не лирика. Вот Гоголь, он для меня образец: это проза, поэзия, это возвышенная речь. Если б мне вдруг предложили писать такую прозу, какой заполнены толстые журналы, то я бы просто перестал писать, мне это неинтересно. Проза ничем не хуже поэзии, она должна быть такой же красивой...

В.К. Между прозой и поэзией?

С.С. Да, в пограничном состоянии, обязательно потенциал должен быть, какой-то энергетический контраст...

В.К. Что значит для тебя звучащее слово?

С.С. Звук, ритм, особенно ритм - это вообще основа всякого творчества. А в звуке, точнее сказать, в созвучии, содержится в общем-то все. Один американский корреспондент спросил меня, почему, собственно, я такое большое значение придаю чистому слову... Но у меня естественное, изначальное отношение к слову как к чему-то глубинному. Я ему сказал: литература важнее, чем жизнь. Он был потрясен этим. Он спросил: а почему? Я задумался, как же ему объяснить, ведь я никогда даже не пытался сформулировать это... А для него, немолодого человека лет сорока, это было чем-то новым. И я ответил ему: как почему? Ведь сказано: "В начале было Слово..." Вот поэтому. Потому что это Дух, а Дух выше материи, это так просто. А Слово состоит прежде всего из звуков.

В.К. Ты, как и все мы, в университете проходил курс "Введение в языкознание" Реформатского. Из своего периода учебы я помню, насколько все в этом предмете казалось зыбким, на первой лекции наш преподаватель даже предупредил нас, что до сих пор никто толком не знает, что такое язык. Предмет языкознания во многом условен, словесники пока договорились до одного - до понятия фонемы. Что же стоит за этим, как отделить звук от смысла, и из чего состоит слово, никто толком не знает. Видимо, язык адекватен самой жизни, это такая же стихия, живая и одновременно искусственная субстанция...

С.С. Искусственная для кого? Я думаю, что если в начале было Слово, то скорее это человек искусственная субстанция для языка.

В.К. Прекрасно - вот это ответ гения!..

С.С. ....

В.К. Тебя относят к представителям так называемого "чистого искусства" в литературе, ориентированной прежде всего на эстетику, на звучащее слово, где главное не "что", а "как".. Но мы знаем, что все подлинные поэты идут дальше чистой эстетики. Какие ориентиры или художественные цели ты ставишь в своем писании?

С.С. Да не бывает никакого "искусства для искусства". Есть просто искусство. У меня есть эссе как раз на эту тему - не "что", а "как". Оно называется "Ключевое слово словесности", я там доказываю, что "как" безусловно важнее, чем "что". Я, конечно, в этом не первый. Это была просто лекция, я ее читал в американском университете. Вот как раз там, в Америке, это утверждение для кого-то было чем-то новым. Но я

думаю, что для образованного человека, для хорошего читателя это все само собой разумеющиеся вещи. Здесь, в России, не нужно говорить и доказывать, что “как” важнее, чем “что”. Есть хорошие талантливые читатели, которым все это понятно без объяснений. В Америке, например, есть миллионы читателей, которые читают с целью выяснить для себя, как построить дом своими руками, - есть там такие романы, которые по канве своей еще и являются пособиями и несут в себе полезную информацию... Но ведь это совсем другое, я даже не знаю, литература ли это, сейчас все определения перепутаны, все перемешано. На мой взгляд, искусство может быть только чистым, оно не может быть никаким другим.

*В.К.* А социальность? Она для тебя интересна или она приходит уже независимо от твоего желания?

*С.С.* Если у меня есть социальность, то она есть, но я никогда не стремился к ней. Я никогда не ставил перед собой задачу, как говорил Бунин, “обнажить социальные язвы”, в этом отношении я бунинец. Вот писатель, которого можно взять за образец настоящего художника.

*В.К.* У Бунина что тебе больше всего нравится?

*С.С.* “Темные аллеи”.

*В.К.* А “Жизнь Арсеньева”?

*С.С.* Неплохо, неплохо, очень хорошо. Все прекрасно. Но вот у позднего Бунина все уже доведено до полной эстетической отчетливости, так что кажется, что лучше писать уже и нельзя, это литературное направление уже исчерпано. Проблема всякого нового писательского поколения и личная творческая проблема всякого писателя состоит в осознании того, как мало возможностей остается, чтобы сказать что-то оригинальное. Читая классиков, ты понимаешь, что все в основном уже сказано и описано. Все вакантные возможности с каждым годом заполняются, проявить себя все труднее. Поэтому я не понимаю, как можно работать в конце XX века и совершенно спокойно в тех же пределах продолжать традицию реализма после таких гигантов, как Толстой, Достоевский, Бунин... Реализм кончился! Всякое художественное течение заканчивается, когда истекает его историческое время. После того, как постигаются какие-то вершины искусства, надо неизбежно искать что-то новое. Конечно, очень легко брать приемы, наработанные великими мастерами, и продолжать их поэтику в пределах канонического реализма. Но вот появился модернизм, а тут будто и не слышали о нем...

*В.К.* Была искусственно созданная ситуация, при которой все существовало только в политическом контексте. А ты не допускаешь возможность параллельного развития реалистической и модернистской традиции с их взаимовлиянием и взаимообогащением?

*С.С.* А реализм ничем уже не может обогатить.

*В.К.* Но вот он ищет какую-то социальность, какие-то общечеловеческие темы - это тоже как бы предмет литературы...

*С.С.* Если только решить, что предмет литературы - это разрешение социальных конфликтов, то, конечно, лучше пользоваться реализмом как методом, который для этих

целей наиболее пригоден. Если решать эти проблемы авангардным путем, то это будет натяжка. Но в том-то и дело, что реализм выродился в чистейшую журналистику, в откровенную публицистику, далекую от подлинной художественности. В художественном отношении никакого реализма не может быть, он исчерпал свои возможности... Слава Богу, я понял это очень рано, поэтому как только появились у нас в печати какие-то первые обрывки и клочки западных модернистских произведений, я сразу набросился на них как на что-то родное, я ни минуты не сомневался, что это мое.. . Заря модернизма в России - это Гоголь. Я был очень верным учеником Гоголя в отрочестве и юности. Поскольку я ждал что-то такое подсознательно, и когда оно наконец появилось, я понял: ага, вот оно и есть, то самое, чему в русской литературе я не нашел продолжения, а в западной литературе я это нашел.. . Это прежде всего Гофман. Хотя по хронологии все было наоборот: сначала был Гофман, а потом появился Гоголь. . .

В.К. Если б не было Гофмана, то, наверное, не было бы и Гоголя в том виде, в каком мы его знаем. . .

С.С. Ну, наверное, да. Я думаю, что да.

В.К. Из Гоголя что? Ведь Гоголь был разный - малороссийский, петербургский. . .

С.С. Вещи моего детства - "Вий", "Страшная месть", все украинские вещи. Петербургский, конечно, тоже, но в детстве-то читаешь украинского Гоголя, страшные эти вещи.

В.К. Ранний Гоголь влечет сказочной чертовщиной, которая относится скорее к фольклору, а фольклор изначально близок детскому восприятию жизни. Ребенку понятен именно ранний фольклорно-сказочный Гоголь.

С.С. Тут вот в чем дело, очень хорошее слово ты тут употребил - чертовщина. Как раз слово «чертовщина» совершенно нельзя отнести к Гоголю, к Гоголю подходит слово «мистика», потому что Гоголь великий мистик, и он доказывает это в каждой своей фразе. Слово «чертовщина» можно отнести к Булгакову. . .

В.К. Можешь объяснить разницу?

С.С. Мистика - это слово из другого ряда; она, во-первых, гораздо шире; она пронизательнее, она необъяснима, мистика решительно ничем не объяснима. Это система загадок, это загадочное без всякого намерения развлечь, когда писатель в совершенно блестящем стиле мистифицирует читателя и когда делается не как бы страшно, а вот как раз тот случай, когда он пугает. . . и страшно. То есть не Леонид Андреев.

В.К. Мистика - это еще как бы стремление увидеть водяные знаки жизни, ее внутренний рисунок, не напугать, не обличить беса и его происки, а передать всю inferнальность нашей жизни, ее загадочность, таинственность по большому счету. . .

С.С. Это еще и вкус. Мистика - вещь хорошего вкуса, а вкус - определяющее для литературы. Тогда как чертовщина - это весьма сомнительная балаганная вещь. Вообще-то никаких ориентиров нет, есть желание сделать, написать текст, который был бы вполне оригинальным, чтоб он был хотя бы небольшим явлением в литературе.

*В.К. В процессе письма ты идешь от идеи оригинальности или от попытки схватить какое-то мимолетное дуновение жизни, передать текучую таинственность ее?..*

*С.С. Это опять та же ошибочная, на мой взгляд, теория вступает тут в силу. . . Было бы все намного проще, если бы литература действительно отражала жизнь. . .*

*В.К. Но это невозможно, чтоб она отражала жизнь. Потому что до сих пор никто не знает толком, что такое жизнь, сводить всю ее к бытописательству - это будет не литература, как мы уже выяснили.*

*С.С. Конечно, может вдохновить какое-то, как ты выразился, дуновение жизни, но ты стремишься отразить не дуновение жизни, не мгновение остановить, а, скорее, объяснить самому себе собственное отношение к какому-то явлению. Не к жизни, не о жизни, а об отношении человека к жизни. Так что это все к вопросу о цели, если вообще есть какая-то цель у искусства.*

*В.К. Сегодня общая тенденция художественной литературы - антигероическая: это ползучая эстетика "мелких" вещей, поэтизация быта, человеческих чувств и отношений, анализ деструктивных потерь. Оптика прозы меняется, переползает на другие объекты, как солнечный луч в затемненном жилище. Писатели предшествующей волны первыми занялись поисками внутри этой "отрицательной" эстетики внутреннего позитива, основанного на диалоге здравого смысла. А отсюда и дискретность, разорванность их художественного сознания, основанная на невозможности принять и примирить в себе общественный договор и личностное, "уединенное", опаска и остротка, боязнь последнего слова. История, как нас учили, идет по спирали, и сейчас мы переживаем знаменательный этап перемены ориентиров во всем, в том числе в языке. У всех перед глазами великий опыт Андрея Платонова, открывшего тупиковость языка современной ему эпохи, языка, задыхающегося от канцеляризма, направленного на описание должностящего бытия, обязанного существовать в сослагательном наклонении - т.е. во всем отражать утопическое сознание, изменив своей сакральной функции инструмента познания. Сегодняшнее время можно сравнить с революционной ситуацией, имевшей место в эпоху позднего средневековья - начала Возрождения, когда на смену религиозной схоластике мышления пришел номинализм, взорвавший изнутри средневековую систему знаков и осуществивший прорыв к реальности. Философия времени всегда напрямую связана с философией языка... У тебя есть какая-то концепция развития литературы, какие-то свои идеи на этот счет?*

*С.С. Я думаю, что выстраивать какие-то теории по поводу взаимоотношения действительности и литературы, истории и литературы невозможно. Взять хотя бы начало века: тогда революция оказала огромное влияние на прозу и поэзию. Сейчас тоже вроде бы революционный момент, но в литературе получается какой-то застой - ну публицистика, она действительно интересна, но это другое. . . Поэтому никакой теории нельзя строить. У меня нет никакой концепции, я вообще удивлялся всегда этому тезису - р а з в и т и я литературы. Больше чем Гомер мы все равно ничего не сказали. Как ее можно развить? А тенденция. . . В 50-е и 60-е годы она была уже у Хэма, Ремарка, все это нашло отражение в послевоенной литературе. Многие в то время молодые писатели, и я в том числе, были увлечены западной идеей трагического скептицизма. С начала 60-ых годов мы были ориентированы на Рильке, потом на французских символистов. На реализм мы уже не обращали никакого внимания, мы все воспринимали сквозь призму нашего, может быть, доморощенного сюрреализма и жили под знаком такого отношения к литературе. Мы ждали от литературы в основном знака смерти, что ли, эстетизации смерти. Я думаю, это очень сильно и естественно уравновешивало*

радостную реалистическую тенденцию, навязываемую господствующей идеологией. Протест моего литературного поколения состоял именно в показе разных негативных явлений жизни, поэтому нам казалось вполне естественным, что нас запрещают. Мы даже не обижались, мы понимали, что это мы видим жизнь такой, как она есть, это мы правильно ее понимаем, а они все выдумывают в своем социалистическом реализме. . .

В.К. В.Набоков, известный своей требовательностью и доселе, кажется, никого не выделявший из современных русских писателей, очень высоко оценил твой первый роман, сказав, что это "талантливая, трагическая и трогательнейшая книга". Эти три слова из его рецензии на рукопись, по твоему же признанию, определили твою карьеру на Западе. . .

С.С. Когда я уже жил в Вене, мне позвонил из Америки Карл Проффер, основатель и главный редактор издательства "Ардис". Он сказал, что передал Набокову рукопись "Школы для дураков" и что Набоков прислал ему очень лестный отзыв. Я тогда еще не понимал значения этого высказывания, но догадывался, что это очень важно для меня. В те первые дни жизни на Западе получить такое известие было очень. . . это было преображающе, скажем так - я понял, что это начало какой-то новой действительности.

Я ведь тогда еще не осознавал до конца, зачем я пишу. Это означало, что я действительно состоялся. Уже потом, как-то решив поехать на несколько недель в Швейцарию, сказал об этом Карлу Профферу по телефону. Он передал Набокову и тот сразу же через Карла пригласил меня заехать к нему. Но в тот момент я не был готов к этому. Красота самой Швейцарии огромное событие для человека - озера, фантастические водопады, какая-то новая жизнь, к которой ты не привык на родине, все это как-то так изумляет, что у меня не хватило бы просто эмоциональных возможностей для встречи с еще одним каким-то грандиозным явлением. . . Наверное, я просто подсознательно боялся, что меня не хватит, нужно ж было как-то соответствовать. Но тогда я себе объяснил это примерно так - кто я такой вообще, чтобы вот так просто, пусть и по приглашению, приезжать к Набокову. Собственно, меня нет рядом с ним, я никто, он меня похвалил, но это не означает, что я имею право. . . может, он меня из вежливости похвалил, а я приеду к нему, буду там с ним чай пить. А я даже не знаю, как надо сидеть в кресле. . .

В.К. Перед Набоковым!

С.С. Перед Набоковым. Ты же еще и станешь для него объектом наблюдений, будешь перед ним ужасом извиваться, пытаться что-то сказать, развлечь, а ему может все это не интересно. . .

В.К. Помнишь, как Чехов собирался к Толстому? Примерял перед зеркалом брюки и вслух размышлял: "Если надену узкие, скажет: "Щелкопер". Если надену широкие, скажет: "Нахал". . .

С.С. Кстати, и в плане туалета все было очень важно. Действительно, нужно было продумать буквально каждую деталь. . . Я бы наверняка где-нибудь сел в лужу, я не сомневаюсь в этом, обязательно. Потом уже задним числом я узнал, что были люди, которые у него побывали. . .

В.К. Белла Ахмадулина. . .

*С.С. Да, Белла Ахмадуллина, но были и другие, Я не хочу обижать человека задним числом, его уже нет в живых, я имею в виду Амальрика, который явился без приглашения. Но это нужно быть человеком просто наглым, он написал там какую-то статью и решил, что теперь имеет право. . . И Набоков принял его, ему вообще были интересны люди из Союза и он интересовался жизнью у нас.*

*В.К. Белла Ахатовна упала перед Набоковым на колени?*

*С.С. Да, и стала театрально целовать ему ноги. Он потом сказал такую фразу: “У нас было много соплей во встрече. . .” Но ведь это два разных человека - Набоков и Ахмадуллина, просто антиподы, в этом ее эксцентризм, ради Бога, она заслужила это, эту поездку туда. . . Но главное-то в другом, о чем можно писать и писать - о встречах и не в с т р е ч а х . . . Ведь, как чаще всего случается: если человек какой-то тебя похвалил, сказал, что ты хорошо пишешь, и тебе дорого его мнение, то при встрече можно только ухудшить впечатление, ты можешь уронить себя в его глазах, зная о себе, что ты-то на самом деле хуже, чем то, что ты пишешь. . . Поэтому не надо, наверное, напрашиваться.*

*В.К. Раз уж он не состоялся, этот визит к Набокову, несмотря на ваше обоюдное желание, тебе никогда не хотелось по-писательски вообразить себе его, представить, как ты придешь, во что будешь одет, с чего начнешь разговор?.. Ведь эта литература о встречах и не встречах тоже может быть интересной. В “Палисандрии” у тебя уже есть сцена воображаемой встречи с Беккетом.*

*С.С. Как я бы пришел? Ну, надел бы. . . У меня было тогда 2-3 пары джинсов, из них я бы выбрал наиболее строгие, я думаю, это были бы черные джинсы и какая-нибудь очень скромная рубашка. Я бы обязательно закатал рукава в три четверти. . .*

*В.К. Это твой самый академичный стиль, да? Строгие джинсы и рукава в три четверти?*

*С.С. Да, в три четверти. . . Ну, если бы я еще немножко дал себе подумать, то, может быть, даже подъехал на кабриолете, потому что в Монтре есть кабриолеты. Думаю, он оценил бы это - вместо такси подъехать на кабриолете.*

*В.К. То есть у тебя была даже какая-то дерзость?*

*С.С. Дерзости у меня хватало всегда, но в данном случае благоразумие победило. Я помню, как сидел и думал: ехать-не ехать, звонить или нет?.. Потом уже в Америке я познакомился с его сыном Дмитрием, переписывался с вдовой и постепенно составил себе довольно полное представление о том, какого рода эта семья, о духе, который царил в их доме. Старомодное аристократическое семейство, с традиционным укладом, и вместе с тем во всем, безусловно, присутствует некая эксцентричность. . . Сын Набокова - это человек огромного роста, самой что ни на есть театральной внешности, он весь пышет академизмом, классической оперой и музыкой, аристократ, придерживающийся строгих правил, в то же время человек настолько яркий, что ему эти рамки малы. . .*

*В.К. Но он талантливый человек?*

*С.С. Безусловно. Он певец в итальянской опере Ла Скала, прекрасный бас. Мы познакомились в Итаке в штате Нью-Йорк на трехдневном фестивале, посвященном Набокову. Он мне передавал большие комплименты отца и говорил, что “батюшка ценит*

вас”. . . Между прочим, сын Набокова тоже пишет романы, и печатает их под псевдонимом в принадлежащем ему издательстве. Вот только я не знаю, на каком языке он пишет: на французском или на итальянском. Под каким псевдонимом он печатает свои романы - мы тоже не знаем. Какой-то он писатель. . .

*В.К. Это как раз очень набоковский ход.*

*С.С. Да. Беккета я никогда не видел, поэтому мог вообразить о нем все, что угодно. Все-таки Набоков не такой далекий от меня человек, как Беккет. Я его очень хорошо чувствую и знаю, хотя тоже никогда его не видел. Я понимаю, какой он был человек, согласен со многими его литературными и жизненными положениями, но именно поэтому я не смог бы написать о нем. В Америке мне однажды представилась возможность увидеть Борхеса. Это было незадолго до его смерти, он выступал на встрече с читателями. Это была единственная достойная литературная встреча в Америке, которая мне понравилась, - в лучших традициях мировой литературы, как мы понимаем. Он отвечал на вопросы, после выступления подписывал свои книги.*

*В.К. Что тебе особенно запомнилось из его выступления?*

*С.С. Поразила легкость, с какой он отвечал сразу на нескольких языках: английском, испанском, немецком. Как свободно общался с трехтысячной аудиторией, будучи слепым человеком - он отвечал мгновенно, возникало даже ощущение, что он подготовился, что он знал заранее эти сложнейшие вопросы. И колоссальное, какое-то невероятное для слепого человека достоинство. Со стороны этот недостаток совершенно не чувствовался. Он был в затемненных очках, и он был невероятно красив, изумительная речь, прекрасные манеры. . .*

*В.К. О Набокове его спрашивали?*

*С.С. Конечно, но и связано это было с тем, что эта встреча проходила в Итаке в Корнельском университете, где когда-то преподавал и Набоков. Насколько я помню, Борхес тепло отзывался о Набокове, высоко его ставил, но особо не задерживался на этом. Вопросы в основном касались творчества самого Борхеса. Мне было очень интересно наблюдать за лицами собравшихся, это были лица идолопоклонников, а очередь за автографом напоминала очередь к причастию. . . Я не решился подойти все по той же причине - потому что мне нечего сказать, а автографы я не признаю и не люблю их. Я мог просто сидеть неподалеку и внимательно наблюдать за ним: я его видел, а он меня нет. Для меня гораздо интересней и значительней побыть рядом с этим человеком, чем познакомиться и получить автограф. Увидеть его, постоять рядом, посмотреть на явление. . . Приближение к большому писателю, общение, даже вхождение к нему в доверие или в друзья ничего не дает, потому что сам человек и его поведение в миру никаким образом не соответствуют его внутреннему содержанию. Тебе кажется, что вот если ты будешь знаком с Набоковым. . . А это будет игра в кошки-мышки, ведь это не простой человек, он сам тебе ничего не расскажет, он может дать сколько угодно интервью, но он опять обманет тебя.... . . а тем более такой человек, как Набоков, любивший мистификации, он, может быть, никому в жизни правды не сказал о себе, его никто не знал до конца, и незачем было к нему ездить, было бы наивно думать, что так он тебе и откроется. . . Надо просто посмотреть на себя его глазами, и тогда сразу не захочется никуда ехать.*

*В.К. Существует миф о Набокове, который он сам в значительной степени и создал. Этот полумистический образ несет в себе колоссальную притягательность для пишущей*

*молодежи. Набоков сегодня - самый влиятельный писатель современности, подчиняющий себе слишком многих, порой даже кажется, что для его же пользы культовый образ этот нуждается в определенном снижении и демифологизации. . .*

*С.С. Я не думаю, что нужно демифологизировать. А зачем? Ведь это прекрасно, ведь литература - это сплошной миф, и в этом качестве - в виде мифа, мифа всеобщего, мифа, в котором участвуют произведения и их авторы, которые творят общую сказку, литература мне гораздо милее, чем в качестве какого-то приложения к социальным явлениям. Я не знаю, поверил ли сам Набоков в то, что он Н а б о к о в, по-моему, ему всегда доставало самоиронии, я думаю, он прекрасно отдавал себе отчет, в какой именно степени он Владимир Набоков. Он всегда совершенно точно знал себе цену. Меня поражает в нем сочетание трезвости, прагматизма и возвышенности. Удивительная эта комбинация. Но это, наверное, дается многим большим писателям - сочетание самых противоположных качеств.*

*В.К. Борхес и Набоков - это классики одного поколения, даже ровесники (1899г.) , писали в одно время, оба подолгу жили в Америке, могли даже встречаться, хотя мы об этом ничего не знаем. Как, на твой взгляд, могли они повлиять своим творчеством друг на друга?*

*С.С. У Борхеса мне нравятся ранние вещи, поздний Борхес уже суховат. Набоков не сухой, он никогда не был сухим, он бесконечно изобретателен, склонен к игре со словом, это калейдоскоп буквально на каждой странице. . . А Борхес очень засушенный писатель, писатель здравого рассудка, язык для него не главное. Так что я ничего общего не нахожу. Это два совершенно разных писателя и , очевидно, мало повлияли друг на друга.*

*В.К. Тебя иногда называют продолжателем набоковской традиции. . .*

*С.С. Я не читал Набокова до своего отъезда в Вену, только слышал о нем. Когда я открыл его "Машеньку", "Подвиг", я вдруг увидел, как много общей образности есть в моей "Школе для Дираков" и в этих романах. Я понял, что меня будут упрекать в заимствовании, и что мне трудно будет доказать, что я не читал Набокова прежде. И так и случилось: меня обвинили, что в "Школе" слишком много набоковских бабочек. . .*

*В.К. Нимфея там, нимфетка. . .*

*С.С. Да, нимфея - это ботанический термин, лилия, а нимфетка - это неологизм. Нимфея и нимфетка не имеют ничего общего. Потом уже американские критики стали объяснять эти две вещи взаимовлиянием. Позже я читал что-то еще, кажется, "Приглашение на казнь" и увидел какие-то другие совпадения. Скажем, в "Палисандрии" у меня есть такое выражение: "пилоты Лапландии". Читая "Приглашение на казнь" первый раз в жизни, я вдруг обнаруживаю его. Это редкое словосочетание, конечно, оно выстроено по созвучию, да, и таких вещей много, я не знаю, чем это объяснить. . .*

*В.К. Ты как-то мне рассказывал, что в Выре, родовом поместье Набокова, обнаружилась улица, носящая имя Саши Соколова. . .*

*С.С. Да-да. Это раскопал кто-то из моих читателей. Я действительно не читал Набокова до того, как приехал на Запад. Я думаю, что уже следующий мой роман "Между собакой и волком" никакого отношения к Набокову не имеет.*

*В.К. Набоков на вопрос о своих политических убеждениях как-то сказал: “Мои убеждения просты как орех: никаких пыток, никаких казней, портрет главы государства по своему размеру не должен превышать почтовую марку. . .” Что ты можешь сказать на эту тему?*

*С.С. Не знаю, мне трудно что-то сказать. Ясно, что я человек, в общем, западных взглядов, но при этом не чужд и каких-то умеренных националистических воззрений, они как-то во мне сочетаются, и это все нормально, в любом русском интеллигенте можно найти целую такую смесь всего, часто гремучую смесь. . . У нормального человека, не политика, не может быть каких-то четких политических взглядов, потому что с течением времени меняется все - сегодня человек сказал так, а спустя несколько месяцев может подумать, что надо было бы по-другому. . .*

*В.К. Тебе приходилось встречать людей, не искушенных в литературе, которым твоя проза нравилась?*

*С.С. Да, причем с ходу, люди совершенно далекие от литературы. . .*

*В.К. Люди простых профессий, полубразованные?*

*С.С. Да-да. Приходилось встречать, это было приятно и еще раз доказывало мне справедливость моего предположения относительно настроения, настрой появляется тогда, когда нет предубеждения и есть желание понять. Видимо, не нужна эрудиция. Не имеет значения, сколько книг прочитал человек до того момента, как он столкнулся с моими текстами. Тут важен тип открытого мышления, настрой и ,безусловно, чувство юмора. Тут уж я ничем не могу помочь, если у человека нет чувства юмора. Если же он обладает этими качествами, его можно считать носителем авангардного мышления, можно определить это и так. Ведь я не употребляю никаких сложных слов, я действительно не вижу, чего бы я, скажем, не сумел бы объяснить в своем тексте. Мы сейчас в основном говорим-то о “Школе”..*

*В.К. Да, она проста и более доступна, так много таких вещей, понятных каждому - семья, детство, ребенок. . .*

*С.С. Я сейчас перечитываю Гессе “Игру в бисер”. Вот классик, его никто никогда не обвинял в том, что он непонятен, а ведь он гораздо сложнее, чем я. “Игра в бисер” - это же дико сложная вещь, каждую фразу я перечитываю по нескольку раз.*

*В.К. А как она тебе?*

*С.С. Прекрасно, я с удовольствием ее читаю.*

*В.К. А “Степной волк”?*

*С.С. “Степной волк” вообще простая вещь, обычная. Мне Гессе нравится, громадный, конечно, мастер. . . Нет-нет, я думаю, что есть просто очень консервативный род читателей, не любящих делать над собой какие-то усилия и не терпящих никаких новшеств. Ведь если они признают этот род литературы, признают право на существование текстов такого вот рода, тогда им придется пересмотреть свое отношение ко всем тем авторам, которые были для них кумирами.*

*В.К. Есть писатели, которые говорят, что для них важно мнение 3-5 человек, с которыми они только и считаются, и есть такие авторы, которые настолько подвержены настроению, что зависят от любой оценки. Как с этим у тебя? Дает ли что-то тебе эта обратная связь: читатель-писатель?*

*С.С. Раньше для меня имело значение мнение каждого читателя, с которым мне удавалось поговорить, но ведь это было в Америке, потому что там живешь как бы в вакууме. Познакомиться с человеком, который прочитал несмотря на занятость твою вещь, поговорить с ним, выслушать, это все-таки было важно. А сейчас уже не так важно, потому что я знаю, что такие-то авторитетные люди высоко оценили мои книги. Это значит, что я в принципе делаю что-то интересное. Лучшие мои читатели, как я заметил, люди абстрактного типа мышления - математики, физики, впрочем, и биологи тоже. . .*

*В.К. Тут у меня еще один такой вопрос: как ты относишься к выражению: “лучший способ победить природу - поддаться ей”?*

*С.С. Я думаю, что я изначально природный человек, то есть я совершенно естественно себя веду, пишу только так, как я, в общем, могу писать, я пользуюсь приемами и возможностями, которые мне даны и по природе близки. . . Я совершенно ни с чем не борюсь, тем более с какой-то там природой, я большой поборник, скажем так, естественных устремлений человека. Я знаю, что мне хорошо жить за городом и плохо в городе, потому что я чувствую, что городские биоритмы меня не устраивают, я чувствую их негативное влияние. Я не знаю, что люди делают в городе, я знаю, что они там работают, но я не знаю, как там можно существовать, в таком большом социуме. Я природный человек. . .*

*В.К. Тебя раздражает твоя популярность, но что ты почувствовал, когда обнаружил, что твои произведения давно и прочно включены в литературный процесс? И чем ты объясняешь причину своего успеха?*

*С.С. Причина успеха в общем-то проста - выросло поколение моих читателей, то есть пришло мое время. Среднее поколение меня почему-то не понимало, мои читатели - или молодые люди, или люди преклонного возраста. Лет десять назад я начал замечать, особенно по письмам молодых двадцатилетних людей ко мне, что появилось новое поколение читателей, более подготовленных и чутких читателей. От меня это не зависело, конечно. Иногда писатель может всю жизнь прождать такое поколение и умереть, не дождавшись своего часа.*

*В.К. А с чем это связано? С культурной, общественной ситуацией?*

*С.С. Я думаю, с большей открытостью общества, с большей включенностью в культурный процесс молодых людей. . . А популярность, конечно, мешает. Я обнаружил, что очутился в том месте, куда стремился, так что появляется естественное стремление уйти в тень. Ведь это же линия огня, линия огня. . .*

*В.К. А что если, скажем, ты живешь в деревне, а книги твои работают где-то там. . .*

*С.С. А и пусть работают, и очень хорошо, я не хочу сам фигурировать в качестве авторитета или пророка, в качестве какого-то учителя молодежи. . . Для меня нет этих ролей, мне это не дано. Я даже не знаю, что делать с собственной дочерью, так что для*

*роли отца я тоже не подхожу совершенно, хотя и стараюсь. . . Хотя меня недавно кто-то успокоил, что этого никто не знает.*

*В.К. Ты родился в семье высокопоставленного военного разведчика. Твой отец в годы войны руководил североамериканской резидентурой и участвовал в похищении американских атомных секретов. . .*

*С.С. За что заочно был приговорен там к расстрелу. И приговор, кстати, до сих пор остается в силе. . .*

*В.К. То есть от рождения ты принадлежал к довольно замкнутой сословной группе детей военной номенклатуры, достаточно обеспеченной и независимой, был представителем “золотой” московской молодежи. Как это связать с твоей эстетикой и с твоим уходом в народ?*

*С.С. Я не думаю, что я принадлежал к “золотой” молодежи. Я же был бунтарем в семье. Все идеалы этого круга были совершенно не мои, так что я был, в общем, неуправляем. . . Наверное, хорошо было вырасти в таком окружении, в такой семье. В-первых, никакого пиетета и страха перед властями, во-вторых, абсолютное равнодушие к материальному благополучию. . . .*

*В.К. Дети из военных семей всегда отличались жизнестойкостью. Если дворянство, национальная аристократия были в революцию уничтожены, а те, кто остался, вели полурастительный образ жизни и были совершенно аполитичны, то при всеобщей задавленности только в военной среде сохранялось какое-то социальное бесстрашие. Может быть, в силу природной агрессивности этого сословия мальчики из офицерских семей формировались более защищенными.*

*С.С. Да. Да, кстати, очень многие, кого я знаю по эмиграции, произошли из семей профессиональных военных: Цветков, Лимонов, отец Бродского тоже был офицером-морьяком. . . Среди творческих людей действительно очень высокий процент детей военных, они часто более образованы, получили больше впечатлений.*

*В.К. Сейчас только начинают восстанавливать некоторые вехи московской молодежной субкультуры 60-70 -ых: салон Ю.Мамлеева, лиазоновская группа, эпоха “ранней” и “поздней” Маяковки. Ты ведь начинал как СМОГист? Расскажи немного об этом.*

*С.С. Первых СМОГистов было 15 человек. Это Лена Басилова, Губанов, Алейников, Недбайло, Батиев, Кублановский, Юдковский, Аркадий Пахомов, еще несколько человек. Потом их стало больше, появились группы в разных частях Союза, так что это движение распространялось как волна. У нас были очень бравые манифесты, мы работали под французских сюрреалистов XX века, от них шла вся эстетика и программа, ну и, конечно, был очень чтим Пастернак, Цветаева. При этом очень много было футуристического эпатажа. Все это, конечно, сейчас кажется смешным, но мы понимали, что хотим что-то сделать, хотя у нас не было достаточного количества информации и культуры. Но мы крутились, как могли и , в общем, это было что-то яркое, яркая такая вспышка на фоне официальной идеологии. Это было весело, дико интересно, мы все друг у друга учились, опыт старших нам был чужд, мы хотели чего-то совершенно нового: доставали стихи западных поэтов и неопубликованных русских репрессированных поэтов - все это обсуждалось, великолепно версифицировалось,*

*рождалась какая-то субкультура, и на этом горючем мы в общем как-то проехали. . . Мы выступали у памятника Маяковскому с чтением стихов.*

*В.К. Тебе тоже приходилось выступать?*

*С.С. Конечно. Чтения эти начали не мы, начала группа, где был Михаил Каплан и другие, это был период ранней Маяковки, 59-61гг. , а мы - 65-67гг. , но мне приходилось участвовать и в 61-м. Потом уже, когда я демобилизовался, так сказать, из военного института, я пришел на Маяковку прямо в шинели, счастливый тем, что мне удалось вырваться из казармы, и тут я сразу познакомился с Батшевым и Алейниковым, которые собирали желающих участвовать в СМОГе. После чтения стихов у памятника мы пошли к Алене Басиловой, там оказалось много еще каких-то людей, уже назначено было писать манифест, плакаты, наметили выступление на 19 февраля. Это было неслыханно крамольное явление. Состоялся вечер в одном Доме культуры, в фойе была развернута выставка художников во главе с Недбайло, а мы читали стихи... Мы жили в атмосфере угара, так, наверное, жил Маяковский в годы революции. Мы все или учились, или были безработные, у всех была склонность к бродяжничеству, к бездомному существованию. Мы были неуправляемы, наши идеалы абсолютно не совпадали с идеалами наших родных, мы совершенно не желали участвовать в строительстве какого-то там будущего. Потом уже нам стало труднее, как только собирались у памятника и начинали выступать, сразу появлялись лица в штатском, требовали, чтоб мы ушли, а мы не подчиняемся, иногда собиралось до тысячи человек, толпа пыталась помешать милиции, которая все-таки уводила нас в отделение на станцию метро "Маяковская", где с нами разбирались. . . Союз писателей предложил включить нас в какую-то обойму молодых, но мы отказались. Была страшно скандальная встреча в ЦДЛ. Они хотели принять нас под свое крыло, а мы поставили какие-то невозможные условия - и все сорвалось. Нас разогнали, кое-кого отправили в ссылку на пять лет - Недбайло, Алейникова выгнали из университета, были еще репрессии... В том числе за участие в демонстрации на Пушкинской площади в защиту Синявского и Даниэля.*

*В.К. Смог бы ты без СМОГа?*

*С.С. Конечно, смог бы, но этот опыт пригодился мне в том плане, что я уже потом мог не вступать ни в какие группы и организации. Это была юность, какой больше ни у кого не было тогда здесь. . . Целая группа молодых поэтов выступила в защиту поэзии, что шло вразрез с официальной линией.*

*В.К. А почему собирались у памятника Маяковскому, а не у Пушкина?*

*С.С. А потому что Маяковский был футурист. Кстати, Сталин, поддержав Маяковского, выступил не как узурпатор, а как просветитель - ирония судьбы в том, что он похвалил самого авангардного, если исключить Хлебникова, талантливого поэта. Если б Маяковский был жив, то он бы ему еще и Сталинскую премию дал.*

*В.К. Если б Маяковский оставался футуристом, Сталин бы его уничтожил. Маяковский стал официальным глашатаем революции, придворным поэтом и тем покрыл свои ранние грехи.*

*С.С. Да, придворным. Придворных поэтов было несколько, но Сталин отметил Маяковского, все-таки он сумел оценить талант Маяковского, а не Демьяна Бедного, который тоже воспевал революцию.*

*В.К. Кстати, очень интересный момент был в известном телефонном разговоре Сталина с Пастернаком. . . Как Сталин очень настойчиво спрашивал у Пастернака: “Но он мастер, мастер?.. “ Речь шла о Мандельштаме. Очень неожиданный вопрос, я бы сказал, необычно сформулированный для Сталина - вопрос мастерства какого-то Мандельштама мог, оказывается, представлять для него какое-то значение.*

*С.С. Он ведь сам писал стихи. Значит, втайне умел оценить поэтический талант.*

*В.К. У Арсения Тарковского были интересные воспоминания о том, как его однажды посадили в машину и привезли на Лубянку, где вручили подстрочный перевод с грузинского каких-то стихотворений. Тарковский сделал переводы и только потом узнал, что это были стихи Сталина, которые подхалимы из его окружения решили издать на русском языке к какому-то очередному юбилею. Таким образом, Тарковский выступил переводчиком стихов Сталина.*

*С.С. Наверное, поэтому Тарковского и не трогали. Но терпение, терпение какое было у человека. Как он вообще не угас? Очень трагическая это фигура в поэзии. Он замечательный поэт. . . Кстати, ты знаешь, какой лозунг был у СМОГа?*

*В.К. Смелость, Мысль, Образ, Глубина?*

*С.С. Ну. Это известно, да. А в манифесте было записано так: “Долой Евтушенко, Вознесенского с парохода современности!..”*

*В.К. То есть этот лозунг стоял актуально уже тогда?*

*С.С. Глупость, конечно. Смешно сейчас об этом вспоминать.*

*В.К. Ты и сегодня считаешь себя членом команды этого парохода?*

*С.С. Я бы сказал, что я ушел глубоко в трюм и стал кочегаром. В частности, после нашего разгрома устроился работать истопником в Тушине. Кочегарически говоря.*

*В.К. Пароходная топка - это тоже метафора.*

*С.С. В Тушине я работал рядом с рынком. Злчное тогда было место, а сейчас я представляю, как там страшно.*

*В.К. Расскажи немного о твоей книге эссе “Тревожная куколка”.*

*С.С. В эту книгу вошли вещи, написанные в основном на Западе. В основу некоторых из них легли лекции, которые я читал в американских университетах. Основные темы этих эссе - литература, творчество, судьба писателя в Америке. Одно эссе уже было напечатано в “Юности”, другое в “Собеседнике”.*

*В.К. Я читал эссе в “Юности”. Это такой сложный ретроспективный текст, насыщенный реминисценциями и внутренним скрытым цитированием своих коллег по СМОГу. . .*

*С.С. Там есть, конечно, какие-то цитаты, аллюзии, но в основном это рассказ о нашей поэтической юности. Сюжет его очень прост: изображен как бы некий гумилевский трамвай, который мчится по городу и по дороге подбирает смогистов, которые*

собираются в одном вагоне по пути следования этого трамвая. По мере того как эти люди, один за другим, входят в вагон, рассказывается об их поэтических судьбах. Имена не названы, но по отдельным строчкам можно угадать, кто есть кто. Это трамвай как бы населенный моим поэтическим поколением, его групповой портрет. Например, фамилия Недбайло дается там в виде наречия "недбайло". . . Конечно, эта вещь рассчитана на будущее, когда все их работы и имена станут известными. Владимир Алейников там зашифрован как "О Лель мой", как потомок какого-то там Олейника, и т.д.

В.К. Твоя проза - литература высокого стиля, культурных изысков, и все же тебе никогда не хотелось сесть и написать что-то бесхитростно простое, незатейливое? Например, твои "Рассказы, написанные на веранде" - это простая повествовательная проза. Или подобная литература тебя уже не привлекает?

С.С. Нет, это как-то уже неинтересно. Я далеко ушел от такой простоты. Я вообще не очень верю в простоту, скажем, в ту, к которой стремился Пастернак и которой он якобы достиг. Он достиг этой простоты, но я боюсь, что это была скорее пиррова победа, потому что ранний Пастернак мне безусловно интересней и ближе. Я понимаю, насколько для него это было необходимо, так сказать, исторически. . . но в творческом плане это не имело никакого смысла. Тут он просто снизил планку и почти сравнялся с неравными себе талантами, такими, как Твардовский, например. Зачем ему это нужно было?

В.К. Тут у меня к тебе вопрос, затрагивающий некоторые странности в твоей жизни. . . Как ты их себе объясняешь? Загадочный пожар в Греции, при котором сгорела почти готовая рукопись твоего нового романа. Неожиданная смерть женщины, привезшей в Грецию из России первое издание "Школы для дураков". . .

С.С. Да-да, она приехала ко мне на поезде в Афины и незадолго перед тем проезжала Марафон. А, как всем известно, Марафон находится в 42-х километрах 195 метрах от Афин. Она проехала мимо него и словно поплатилась за это. . .

В.К. Наверное, ей следовало пройти этот отрезок пути пешком?

С.С. Может быть. Во всяком случае, эта несчастная женщина успела передать мне журнал и вскоре неожиданно скончалась. Кажется, от инфаркта.

В.К. Ты также рассказывал, как загадочно твоя рукопись "Школы для дураков" пришла в "Ардис". Она шла по почте почему-то через Африку, в рассыпанном виде, частями. Пришла в рваном конверте, без титульной страницы с фамилией автора. . .

С.С. Я думаю, что есть люди, в чьей жизни без конца случается то или иное. Человек как бы по спирали выходит на витки все тех же приключений. Эту определенную повторяемость и цикличность событий, когда на разных уровнях происходит одно и то же, можно, наверное, рассматривать как некую проклятость.

В.К. Ты веришь в какую-то внутреннюю логику жизни, ее таинственную предначертанность?

С.С. Да, ведь я предсказал почти все, что сейчас сбылось. В моем втором романе в стихотворении "Преображение охотника" все четко сказано: "Вернемся в дом, а в доме все как было. . ." . . . Когда я писал это, я знал, что делал. А, вообще, жизнь можно сравнить с неким текстом. В эссе, опубликованном "Собеседником", я как раз об этом

говорю - что еще неясно, кто кого пишет. Этот текст - он только твой, ты не можешь избежать его, ты являешься частью этого текста, ты играешь в каком-то сюжете. . .

*В.К.* Ты очень последовательный человек: решил стать врачом - пошел в морг, решил стать журналистом - поехал в тьмутаракань. Работал егерем. . .

*С.С.* Да, я понимал, что хорошо быть лифтером, истопником, ночным сторожем, но все же это меня мало привлекало. Убегав из газеты и вообще из города, я захотел стать егерем, думал, что уже в лесу-то гармония с природой должна быть полной. . . Это было в Конаковском районе. Жил я на берегу Волги, охранял лес, охотничьи угодья, которые надо было объезжать на лодке, верхом на лошади или же обходить пешком огромную территорию. Я должен был организовывать охоты, у меня была лошадь, собака, две моторные лодки и кой-какой опыт охоты до этого. На другой стороне реки находился остров Низовка, на котором раньше до затопления была деревня. В этой-то деревне, как я узнал впоследствии к своему немалому изумлению, жил крестьянский поэт Дрожжин, первый переводчик Рильке на русский язык. Рильке приезжал к нему в гости и два лета прожил в этой деревне! Я узнал об этом совершенно случайно: уже в Америке стал читать материалы о Рильке, просматривать журналы тех лет и увидел даже фотографии той деревни, находившейся прямо в два бугорка от меня через Волгу. . . Я был соседом Рильке спустя много лет после его пребывания в тех местах. Я знал, что он где-то тут жил, но думал, что это было в Завидове, потому что в Завидове находится его музей.

*В.К.* Там ты написал “Школу для дураков”? Как это вообще происходило?

*С.С.* У меня было много свободного времени. Часто, вместо того чтобы обходить участок, усаживался писать. Я нашел там именно то, что хотел найти, убегав из города. Бывали месяцы, когда подолгу жил один. Ко мне приезжала из Москвы моя первая жена Тая, какое-то время жила вместе со мной. До ближайшей деревни от нас было пять километров. Моя дочь, по сути, тоже родилась там. . .

*С.С.* А почему там?

*С.С.* В тот день Тая приехала из Москвы. Перед этим ее заверили, что до родов еще четыре недели. А ночью начались схватки. . . Меня это застало врасплох чудовищно. Было четыре часа утра. Я повез ее в больницу на моторной лодке. Меня сопровождал еще один человек на хорошей лодке на тот случай, если мотор моей вдруг откажет. Все обошлось, дочь благополучно родилась, так что я там еще и стал отцом. Это место для меня оказалось магнетическим, моей малой родиной: там и роман написал, и ребенок родился. С ним для меня связан тот классический образ России, о котором я всегда вспоминал, живя в Америке. Это очень красивое место, дом стоит на берегу окнами на Волгу, там есть залив, отгороженный от фарватера островами, на которых мы косили сено, при впадении маленькой речки Рыжовки. Конечно, в Москве прошла вся моя жизнь до эмиграции, но Россия для меня - это Волга. . . Волга всегда притягивает, она никогда не меркнет и красива при любой погоде. Это такая во всех отношениях вечная река, которая порождает необыкновенные характеры. Там можно жить долго и писать об этих людях языком писателя-реалиста, например. . . И вместе с тем это река мистическая, если говорить о невероятных совпадениях и странных явлениях жизни, там буквально каждый день сталкиваешься с такими странными вещами. . .

*В.К.* Например?

*С.С. Ну, например, городскому человеку это может показаться сказкой или чертовщиной, но тот, кто знает, в чем дело, тот поймет. Предположим, леший водит человека по лесу...*

*В.К. С тобой бывало такое?*

*С.С. Много раз. Я просто терялся в местах, которые прекрасно знал, жил в них. Там есть ведьмы, колдуны, там все есть. Я жил с этими людьми и знаю совершенно точно, кто из них... э-э...*

*В.К. Водится с нечистой силой?*

*С.С. Ну, да. До меня там работал один человек, принципиальный член партии, он любил качать права, ну и утопили его... Сюжет моего второго романа “Между собакой и волком” и об этом тоже. Он застрелил чью-то дорогую гончую собаку, вот его и утопили; люди даже знали кто, но суда так и не было. Поэтому я и получил место начальника участка, у меня там была стремительная карьера...*

*В.К. За счет того, что ты не вмешивался в местные дела?*

*С.С. Да, он вмешивался, а я нет. Я сразу понял философию этого места, понял, что эти люди живут здесь из поколения в поколение и считают эту землю своей, и никто им не указ по части того, как им действовать и когда охотиться, я чувствовал, что у них есть моральное право кормить свои семьи таким образом... Да, они профессиональные браконьеры, охотники и рыбаки, но они, во всяком случае, приносят вреда меньше, чем официальные охотинспектора и т.д. , не говоря уж о химии и прочем. Я с ними подружился.*

*В.К. Что тебя больше всего привлекает в природе?*

*С.С. Река. И я люблю, чтоб обрывистые были берега у реки.*

*В.К. Твой второй роман тоже посвящен Волге. Немалую смыслообразующую роль в нем играет картина П.Брейгеля “Охотники на снегу”. Мир этой картины соответствует твоему гармоническому идеалу?*

*С.С. Эта картина как бы наложена на мой текст... Дело в том, что на Волге, где я работал егерем, есть одно место, удивительно похожее на этот брейгелевский пейзаж. Находится оно в Конаковском районе, это правый берег Волги; если с определенной точки смотреть на него, то очень похоже... Мой текст написан по этой картине. Сюжет книги протекает в ней, в ней живут мои герои, и я там тоже живу... Описание ее идет в трех местах в романе, в том числе в одном стихотворении, где мой герой, пьяный охотник-егерь, вспоминает эту картину, сравнивает ее с видом из своего окна и полемизирует с художником. Он находит расхождения в каких-то деталях, но в целом она его устраивает, мир его совпадает с этой картиной. Он только несколько недоволен тем, как нарисованы охотники, во что они одеты - охотники сейчас так не одеваются, они бедные... И заканчивается стихотворение таким четверостишьем: “Вот она, моя отчизна, нипочем ей нищета и прекрасны наши жизни, пресловутая тицета...”*

*В.К. За этот второй роман ты получил премию Андрея Белого?*

*С.С. Эту премию, утвержденную группой писателей и читателей, ежегодно присуждает редакция петербургского альманаха "Часы". Величина ее, как и Гонкуровской, невелика - всего в один рубль. Этот серебряный рубль мне в 1981 году прислали в Вермонт в почтовом конверте. Была зима, я жил в горах, вокруг глухо-глухо, снег, лыжи и - никакого движения в сторону литературы. Момент для меня был кризисный, потому что новую мою книгу никто не понял, друзья хранили молчание, издатель был озадачен тем, что книга очень сложная, совершенно как бы закрытая, сложнее, чем "Школа", и тут вдруг врывается какое-то письмо из Ленинграда, а в письме рубль... В своем ответном послании я выразил свое удивление и восторг тем, что есть вообще люди, - а было их человек двести, целое литобъединение, - которые в состоянии понять этот текст. Это было для меня одно из самых радостных событий в эмиграции.*

*В.К. Ты говорил, что запасов языка и впечатлений писателю-эмигранту хватает лет на десять, а потом неизбежно начинаются кризисные явления.*

*С.С. У каждого писателя свой запас дыхания, кому-то хватает на пять лет, кому-то на десять. Но в какой-то момент рано или поздно начинаешь ощущать какую-то недостаточность, начинает явно чего-то не хватать - русского круга общения, русских разговоров, в которых освежается словарный запас и выуживаются какие-то сюжетные перлы и находки... Моим самым любимым занятием когда-то было сидеть в компании русских людей и слушать, не принимая участия в разговоре, потому что для меня всегда было гораздо интересней слушать других, нежели рассказывать самому. Вот такой атмосферы свободного разговора там уже ни за какие деньги не найдешь. Если русские и собираются вместе, то они говорят уже о другом, они превращаются в политиканов, - сознание очень политизируется в эмиграции, - и поэтому в основном разговор, как правило, сводится к одному, к будущему России... Но это уже другой уровень сознания, другой языковой пласт журнально-газетной информации, поэтому ничего интересного в нем нет. Чтобы писателю выжить в эмиграции, нужно создавать свой собственный язык, если нет возможности перейти на местный... Вот есть мнение у критиков, что я в двух своих последних вещах как бы создал свою поэтику. На этом можно существовать долго, можно даже переосмысливать язык среды обитания, в данном случае английский...*

*В.К. Уехав на Запад, писатель-эмигрант получал право на печатный станок, возможность публиковаться, которой был лишен на родине, но терял полноценную литературную среду и читателя. Новая действительность плохо поддавалась художественному осмыслению, поэтому все книги его были посвящены оставленной родине, едва ли не главной действующей силой становился ностальгический элемент, проза эмигранта - это ностальгическая проза, каждый писатель-беллетрист так или иначе начинал создавать свою сказку о России. Взять хотя бы Лимонова... Я имею в виду его повесть "У нас была великая эпоха". Это легкий такой галоп по нашей послевоенной истории, краткий курс Эдуарда Лимонова, где все смешано в кучу, где офицеры НКВД изображены былинными богатырями, а народ сыт и покоен...*

*С.С. Я хорошо его знаю и представляю себе, что он мог написать... Это туфта, это клюква, которая нужна западному читателю. Лимонов с расчетом на это и пишет последние годы.*

*В.К. Его упрекнули: как же так, ведь тут у вас все совершенно нахально перевернуто, ведь мы теперь знаем, на какую работу уходили эти добропорядочные отцы - офицеры НКВД... А он ответил: Ну и что, это мой взгляд, так оно в народном представлении и было, это лубок, моя литературная сказка о великой России...*

*С.С. Лимонов все, безусловно, выдумывает. Он мифологизировал свою юность тоже, он выдает себя за бандита, чтобы показаться интересным, пишет о своих похождениях, которых не было... И все это проходит как его мемуары только потому, что его герой выступает от собственного имени. Но это его герой, маска, не более того. На самом деле он не более бандит, чем я, наверное...*

*В.К. Если можешь, расскажи немного о своей эмигрантской сказке, о своих поисках России.*

*С.С. Я не был на родине 14 лет, и вот в этот свой приезд в Москву я поехал специально в те места, чтобы окончательно убедиться, что я вернулся в Россию. Мне нужно было побывать на Волге. Москва никогда не была для меня Россией. Россия - это вот Волга, где я провел первое свое русское лето, когда ребенком приехал с родителями из Канады; на Волге я написал свой первый роман, о Волге я написал второй роман, и дочь моя родилась там, так что ощущение России, как я уже говорил, по-настоящему у меня возникало и возникает на Волге. И там, в общем, я нашел, что Россия сохранилась. Конечно, несколько все обветшало, но сохранилось все то, о чем снились сны в эмиграции, условно говоря, сны, я уже тебе говорил, что мне сны не снятся. Так вот - о чем мечталось.... Я всегда думал, что если вернусь в Россию, то обязательно буду жить на Волге, если все исполнится, то я с удовольствием поселюсь где-нибудь там, потому что там живут мои герои. Может быть, они лишены какого-то высокого образования и воспитания, но таковы они уж есть, я люблю, что называется, простых людей, я люблю этот язык - язык Верхневолжья, неприглаженный, взрывной, очень экспрессивный. Так что, думаю, что я сформировался там и это моя родина. Да, характеры и язык... Какая, оказывается, у меня примитивная установка.*

*В.К. Что нового дал тебе эмигрантский опыт, чего бы ты никогда не смог получить на родине?*

*С.С. Он мне дал, прежде всего, возможность иного, фасеточного взгляда на многие вещи. Путешествуя по миру, ты всякий раз прибавляешь к спектру своего зрения какую-то новую краску: прибывая в очередную страну, сталкиваешься с какими-то новыми особенностями и традициями бытования людей и приучаешься смотреть, скажем, на жителя Канады глазами американца, на грека с точки зрения канадца и т.д. Всякий раз это бывает очень интересно и поучительно. Таким образом, ты приучаешься видеть весь мир, в том числе и Россию, с разных точек зрения, видеть совершенно по-другому.*

*В.К. В современном литературном авангарде оказывается уже существует деление его на ивангардизм и абрамгардизм... Присущи ли вообще авангарду в других странах какие-то национальные особенности, которые бы отличали джонгардизм, жангардизм, хуангардизм?..*

*С.С. Авангард - это всемирное космополитическое течение... Читая, скажем, позднего Беккета, невозможно определить, какой национальности этот человек. Он родился и вырос в Ирландии, сначала писал на английском, потом перешел на французский, поселился в Париже. В его ранней прозе фигурировал Дублин, потом - Лондон, значит, он был английским писателем, но к концу жизни он дошел до полного очищения от признаков национального, тексты его рассказов совершенно не связаны ни с какой конкретной действительностью... Авангард самодостаточен, если ты авангардный писатель, ты не можешь методом авангарда написать шпионский роман, авангард - искусство в чистом виде, потому его законы не допускают возникновения всей этой массовой дряни... Это реализм своим посмертным существованием узаконил масскульт, включая сюда дешевку всякого рода - псевдолитературу, поп-музыку, кино... Концепция сотрудничества с реализмом и привела к ... Как называлось в годы войны сотрудничество с немцами ?*

*В.К. Коллаборационизм.*

*С.С. ... к коллаборационизму многих писателей, озабоченных лишь проблемой личного выживания. Настоящая литература может быть только авангардна, она должна, если употреблять этот сомнительный термин, действительно развиваться, открывая все новые и новые изобразительные возможности, повороты и ходы... Ты можешь написать только пародию на шпионский роман - но это уже совсем другое, авангард связан с традицией пародии, потому что он действует методом отторжения... Реализм, и не только социалистический, как говорится, зажился. Он стал прибежищем ленивых умов, бездарностей и консерваторов, он стал прибежищем теоретиков и практиков массовой культуры, а это самое страшное, что может случиться с искусством... За какой-то короткий срок произошла колоссальная эволюция в мировом искусстве: живопись обновилась несколько раз, кино и театр, так сказать, сменили несколько шкур, а наша литература все еще делает вид, будто не было даже Гоголя, будто все остановилось на Пушкине, будто дальше Пушкина ничего нет - дальше смерть... Пушкина используют вместо щита бездарные люди, я подчеркиваю это слово - бездарные люди, призывающие нас остановиться на Пушкине. Вся их проблема в том, что они дальше Пушкина ничего не читали...*

*В.К. Может быть, они и Пушкина не прочли? Ведь Пушкин многозначен, из него можно брать и брать, и каждый берет свое. Есть Пушкин Толстого, Чайковского, Набокова, наверняка есть Пушкин и Саши Соколова...*

*С.С. Разумеется.*

*В.К. Объективно говоря, ведь Пушкин был авангардист для своего времени. Пушкинская метафора, звучащая для нас почти современно - "мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед"... - вызвала негодование у его критиков. Слишком просто. Слишком необычно выражено. Просто, поэтому необычно. Слишком авангардно - сказали бы мы сегодня.*

*С.С. Пушкин, безусловно, был бы авангардистом, если б жил в наше время. Если б сегодня родился человек, совершенно адекватный ему по таланту, то он, безусловно, не отстал бы ни в чем ни от Маяковского, ни от Джойса, ни от Беккета. Это был бы писатель, равный по своему гению Джойсу, а, может быть, и крупнее, овладевший всем художественным опытом, наработанным за эти полтора столетия. А кроме того, легко доказать, что Пушкин был самого, что называется, игривого ума, а на игривости и живости воображения и стоит авангард - это та основа, без которой авангард невозможен. И поэтому когда именем Пушкина пытаются ревизировать всю русскую*

*литературу, то это никак не проходит, потому что это не тот Пушкин. Он же написал “Гаврилиаду”, об этом не надо забывать, и ряд других неприличных вещей...*

*В.К. Ладно, что это мы все о литературе. Давай поговорим о других видах искусства. О твоём особом отношении к Питеру Брейгелю мы уже знаем. После своего отъезда за рубеж ты жил какое-то время в Вене, где как раз и находится картина “Охотники на снегу”. У тебя должно быть там, в Вене, с этой картиной установились какие-то особые, доверительные отношения? Ты ходил в национальную галерею, подолгу простаивал перед нею, набираясь художественного дыхания перед тем, как засесть за свою новую книгу?*

*С.С. Да нет. Достаточно сходить туда один раз. Я ходил туда, конечно... Но если говорить о живописи, меня больше всех потрясает Поллок. И не столько его картины потрясают, хотя и они, конечно, тоже, потому что в них сосредоточена безумная энергия, сколько сам факт существования такого явления... Этот человек показал на своем примере, как нужно работать художнику, что такое настоящее художническое “я”, как себя раскрепостить, чтобы быть совершенно свободным. В консервативной Америке 50-х годов, где в живописи все еще дышало XIX веком, а наибольшим успехом пользовались батальные полотна на сюжеты гражданской войны Севера с Югом, вдруг появляется человек, порывающий со всякими нормами, вообще со всем и вся... Когда во Франции появились импрессионисты, они все-таки не порывали так с традициями, сохранялась фигуративная живопись. Ну, а Поллок? Ведь это же ПОЛНЫЙ АБЗАЦ!.. Вот это художник!*

*В.К. Перемена всей оптики, художественное потрясение основ?*

*С.С. Да, конечно. Этот человек, действительно, освежил мир живописи. Вот так и нужно, чтобы все время что-то происходило и менялось в искусстве. Вообще, я многое взял из западной культуры, многому научился у западных писателей, причем больше всех мне, может быть, дали скандинавские новеллисты - источник неожиданный, я не помню фамилий, их там масса, я знаю только, что их поэтика идет от исландских саг и мифов. Поэтому для меня духовно очень близок Ингмар Бергман. Я понимаю все его метафоры, его киноязык, что вообще-то редкость при моей ненависти к кино... Я принимаю его эстетику и люблю его единственного как режиссера по-настоящему. И ради него одного я готов простить человечеству кино вообще.*

*В.К. Великодушный ты.*

*С.С. Да.*

*В.К. Ну, а насколько близка тебе музыка, и какой музыке ты отдаешь предпочтение?*

*С.С. Я ведь авангардист, поэтому из всей симфонической музыки мне интересен только авангард. Классическая музыка меня не трогает совершенно, а вот уже Гершвин, Шостакович, Шнитке, Губайдуллина... Также и джаз, только не дешевка какая-нибудь, а джаз с элементами классики. Прокофьев тоже мой композитор, но Шостакович мне родней - в лучших своих вещах, там, где он авангарден, где идет наперекор традиции. И, конечно, Шнитке - композитор, безграничный совершенно...*

*В.К. Есть такие музыкальные произведения, которые ты любишь слушать периодически?*

*С.С. Слушать периодически я не могу ничего, у меня ведь нет ни магнитофона, ни проигрывателя, только приемник: что играют, то и слушаю. А записи... Я пытался, как и с библиотекой, сделать какое-то собрание пластинок, собирал пленки, а потом понял, что у меня с этим ничего не получится: я или все раздаю, или оставляю где-нибудь... На этом и успокоился, понял, что это не для меня, потому что вещи обременяют... Да, продолжая твой вопрос о других видах искусства, я могу тут прибавить, что рассматриваю спорт как самое настоящее искусство. Наше тело вещь тленная, но это Богом данная вещь, этим также нельзя пренебрегать, как и природой, к телу также надо относиться пантеистически, потому что подлинная гармония достигается исключительно через физическое восприятие мира. У древних была такая поговорка, моя любимая: "Он не умеет ни писать, ни плавать..." С позиций древнего эллинизма это было равнозначно. Поэтому я не понимаю совершенно заскорузлого презрения русской интеллигенции к спорту, это самое настоящее невежество.*

*В.К. Живя на Западе, ты ведь подрабатываешь инструктором по лыжному спорту?*

*С.С. Да. Когда я учился в школе, я серьезно занимался лыжами, входил даже в десятку сильнейших лыжников Москвы. Когда оказался на Западе, это мне неожиданно пригодилось и на какой-то момент даже стало основной профессией.*

*В.К. Твоя третья книга - роман "Палисандрия" вызвала довольно разноречивые отклики. Эта гротесковая вещь, тяготеющая к жанру антиутопии, пародирует целый пласт существующей на Западе "разоблачительной", "антикремлевской" бульварной мемуаристики. У нас эту литературу пока знают мало, поэтому отправной момент читателю мало понятен - метафора как бы для нашего читателя не сбавывает?..*

*С.С. Разумеется, потому что не произошло еще насыщения - насыщения рынка и сознания. Вот когда уже к горлу подступит тошнотворный комок, тогда массовый читатель поймет, что такое "Палисандрия". Сегодня на Западе в большом почете мемуары, связанные с русской историей и историей СССР, эта квазилитература образует целую библиотеку - мемуары всяких беглецов-секретарей, перебежчиков, шпионов, Светланы Сталиной, а до нее было полно разных самозванцев, очень много было написано о Распутине... Этой книгой я выразил свое отношение ко всем этим вещам и к этой литературе, уж не знаю какой по счету сортностью ее обозначить. Мне было и самому интересно проверить, как это вообще - писать мемуары...*

*В.К. Скажи, пожалуйста, для тебя написание этой книги явилось чем - попыткой какого-то коммерческого решения, литературной шалостью или же серьезной вещью, преследующей глубокие художественные задачи?*

*С.С. Дело в том, что это не серьезная вообще-то вещь...*

*В.К. Я понимаю, это пародия. Я о другом - для тебя эта книга основополагающая или же просто этапная?*

*С.С. В том, что она основополагающая, я не сомневаюсь. Она, наверное, вызовет резонанс гораздо больший, чем две мои предыдущие книги. Прежде всего потому, что она проще, поэтому ее прочтет больше народу. Это первая моя книга, изданная в переводе на английский язык большим издательством в Нью-Йорке, а большое издательство не может позволить себе печатать серьезные авангардистские вещи. В нее вложено много сил не только моих, а и американских ученых, которым она очень нравится, я получаю много отзывов от ученых-славистов, которые находят в ней массу каких-то аллюзий. Ее*

уже переводят на несколько языков, она доступна и понятна, потому что опирается на общеизвестные темы. Ну и я там, конечно, решал какие-то свои художественные задачи. Меня всегда удивляло отсутствие у себя интереса к истории, к мемуарам, я вообще мало люблю историю во всех ее видах, начиная со школы. "Палисандрия" - это мой ответ на все исторические мемуары в мире.

*В.К. Ключевский, Соловьев тебя тоже оставляют равнодушным?*

*С.С. Ну, это все красивые и объемные такие произведения, вместившие в себя большое количество домыслов и версий нашего исторического прошлого, потому что доказать ничего нельзя. Мы с тобой, например, будем говорить о вчерашнем дне и уже не сойдемся в своих оценках. Уж какая там тысяча лет тому назад... Кстати, Алексеем Цветковым была высказана идея, что своей книгой я подвел довольно странный итог русской литературе XX века. Эта очень интересная мысль мне понравилась.*

*В.К. В каком-то интервью я читал, как ты, отвечая на вопрос о концепции первого романа, определил ее так: философия времени...*

*С.С. Ну, это мне уже привязали. Естественно, если ты пишешь роман, то рано или поздно наталкиваешься на проблему времени - также как на всякую там проблему галош, проблему любви... В романе заходит речь обо всем по очереди, а любой критик, увлеченный структурализмом, склонен тянуть за уши какую-нибудь собственную теорию, привлекая только те аспекты романа, которые на нее работают. Когда ты пишешь роман, ты касаешься проблемы времени в большей или меньшей степени, все это вечные темы - смерти, любви... Но я бы, наверное, не был бы писателем, если б у меня была какая-нибудь концепция. У меня есть творческое, даже скорее практическое, ремесленническое кредо: писать максимально хорошо, так, как я это понимаю.*

*В.К. Это вопрос мастерства ?*

*С.С. Это вопрос использования до конца всех средств, всего таланта, который у тебя есть. Максимальной самореализации. Потому что можно писать, используя всего лишь десять процентов себя.*

*В.К. Ну, а любимые темы, мотивы, объекты описания?*

*С.С. А я не знаю, я не могу это сказать, я не контролирую себя в этом отношении. Я, конечно, стараюсь не повторяться, и стремлюсь к тому, чтоб каждая следующая книга была чем-то совершенно новым.*

*В.К. Начиная писать новую вещь, ты уже знаешь, чем ее закончишь?*

*С.С. Для меня текст - вещь самостоятельная, и однажды начавшись, он все меньше поддается контролю, потому что у него какие-то свои надчеловеческие законы. По мере своего роста он подчиняет тебя себе и, к тому же, каким-то образом воздействует на твою биографию, этот текст.*

*В.К. Определяет судьбу?*

*С.С. Да, определяет судьбу, конечно, потому что существует обратная связь между текстом и автором... Но это мысль тоже не очень новая.*

*В.К. Ты пишешь трудно?*

*С.С. Я пишу очень медленно. Пишу с увлечением, но не столько трудно, сколько медленно, потому что передо мной встает большое количество вариантов, из которых предстоит выбрать какой-то один... Это можно сравнить с шахматами, все время идет разбор вариантов...*

*В.К. И каково твое эмоциональное участие в этой работе - бывают какие-то перепады настроения, периоды отчаяния, бессилия, творческого тупика?*

*С.С. Больше или меньше вдохновение, конечно, всегда переживается. Чувство бессилия или отчаяния мне не знакомо. Потому что я знаю, что тупиков вообще не бывает, что возможности языка огромны, и поэтому мне всегда практически удается сделать то, что я задумывал. В процессе письма я никогда не оставляю того, в чем бы я сомневался.*

*В.К. У тебя всегда получается то, что ты задумывал?*

*С.С. То, с чем я согласен, а не то, что я задумывал, потому что я ничего не задумываю заранее. Я соглашаюсь с текстом и текст соглашается со мной, таким образом достигается атмосфера полного согласия и взаимного довольства...*

*В.К. Карандаш или машинка?*

*С.С. Шариковая ручка. Машинка в последней стадии.*

*В.К. У тебя много остается черновиков?*

*С.С. Много вариантов. Бывает так, что одна страница текста имеет и пятьдесят, и шестьдесят вариантов.*

*В.К. Невероятно...*

*С.С. Я все сжигаю. На горе, конечно, моему американскому биографу, который всегда хватается за голову, когда я сообщаю ему о таких вещах. Он все говорит: "Почему бы тебе не прислать все в наш архив?.. " Но таким вот образом и достигается согласие с текстом.*

*В.К. Но это, конечно, ты привел крайний случай? Ну, а норма?*

*С.С. Конечно, крайний. А норма... ну три. Один к трем.*

*В.К. Что ты еще можешь рассказать о том, как ты пишешь?*

*С.С. Дневников не веду. Я всегда пишу некую книгу. Даже если это эссе, все равно это наброски для будущей книги, все это может войти в нее. А идея... Она ведь появляется в процессе письма, как только начинаешь писать, сразу рождается масса всяких идей, об идее не приходится думать, остается только выбрать одну из тысячи тех идей, которые возникают перед тобой. Да и потом, идеи как таковой просто не существует, существует просто поток письменной речи, в который ты должен войти и как бы пуститься вплавь...*

*В.К. Ты как-то выразился, что если ты не плаваешь и не бегаешь на лыжах, то ты пишешь... Но это, конечно, фигурально сказано?*

*С.С. Конечно, процесс письма - непрерывный процесс. Поэтому я часто настолько отрешен от окружающего, что не узнаю людей. Вот недавно мне встретилась одна женщина, знакомое лицо, она обрадовано кинулась мне навстречу, спрашивает меня: "Ну, как ты?" Она работница Дома отдыха, мы с ней еще недавно каждый день встречались, я знаю, как ее зовут... У меня сначала возникло ощущение, что я ее, наверное, где-то видел, потом появилась досада - зачем мне надо вспоминать, кто она, как ее зовут и при этом делать вид, что ты тоже сразу ее узнал и замечательно к ней относишься. Я мучительно начинаю соображать, что же ей сказать, о чем спросить, откуда она и из какого мира?.. Всякому человеку, углубленному в творчество, это мешает. То есть в каких-то случаях мир, безусловно, враждебен художнику, начиная даже с таких случаев, не говоря уж об эстетике...*

**Саша Соколов**  
**«Палисандрия»<sup>87</sup>**

to whom it may concern  
кому положено (англ.)

От биографа

Внучатый племянник сталинского соратника Лаврентия Берии и внук виднейшего сибирского прелюбодея Григория Распутина, обласканного последней русской царицей и таким образом расшатавшего трон, автор публикуемых воспоминаний Палисандр Дальберг (XX-XXI вв.) прошел по-наполеоновски славный путь от простого кремлевского сироты и ключника в Доме Массажа Правительства до главы государства и командора главенствующего ордена. Семь столетий, отделяющие нас от кончины мемуариста, не умалили ни исторического значения его огромной фигуры, ни идейно-художественных достоинств его фундаментальных трудов. Сегодня они предстают перед нами в ряду наиболее непреходящих духовных ценностей так называемой Переходной эпохи. И нет среди палисандровых книг ни одной, что не была бы нам как-то особенно дорога; но эта – дорога бесконечно. Отдавшись на волю исповедальной горячки, Дальберг с первой до последней строки творит исступленно, не останавливая бега пера ни перед какими условностями. Дотошно воссозданные им фрагменты интимной жизни правящей олигархии, в частности этюды о совращении именитых кремлевских жен, описания самоубийств, покушений, казней, заметки о путешествиях, детских проказах и старческой проституции – то есть по сути вся толща воспоминаний – читается безотлагательно.

год 2757

Биограф

От автора

Автор благодарит Судьбу, что любезно свела его на путях бытия с персонажами данной книги.

П. Дальберг

Пролог

Вдруг случилось буквально следующее. Оклеветан клеветами, мой дядя в порядке отчаяния повесился на часах Спасской башни. И вот, единодушно рассматривая эту утрату в свете ее фатальной невосполнимости, летописцы расходятся лишь в деталях. Одни упоминают, что он воспользовался минутной стрелкой, другие настаивают на часовой.

---

<sup>87</sup> [http://royallib.ru/book/sokolov\\_sasha/palisandriya.html](http://royallib.ru/book/sokolov_sasha/palisandriya.html)

Часовой же не только ни на чем не настаивает, но не упомнит даже таких деталей, как собственные фамилия, имя, et cetera. А меж тем засекреченное резюме расследования, проведенного особой правительственной инспекцией, свидетельствует, что попытки всех и всяческих препараторов прошлого расщепить данный волос – вполне смехотворны: ведь было без шестнадцати девять. Забавно также, что и по роду служебной деятельности Лаврентий, чье имя дружественные кебекуазы присвоили одной из своих ледящих рек, связан был с атрибутами Хроноса. Ветеран келейной организации часовщиков, он стоял у ее истоков и был ее вдохновенный водитель. В кремлевской «Табели о должностях и зарплатах» старообразным почерком казначея-попечителя Саввы Морозова указывается, что с такого-то по такой-то год дядя мой, генерал-генерал философских войск, состоял Кардинальным хранителем настоящего времени и имел на руках соответствующий документ.

В начале девятого дядя быстро направился к башне и предъявил его у дверей. Часовой взвился соколом. Многочисленные мемуары военачальников, даже если бы эти труды избежали обычной бумажной участи – тления, огня и забвения, что паче огня, – не помогли бы в деталях восстановить обличие морского кавалериста Якова Незабудки, ибо именно так в силу иронии рока звали упомянутого гвардейца. Кое лишь где, словно огонек в родной ему украинской степи, промелькнуло бы замечание, что представал подтянут, молодцеват, но не более. А ведь тоже был гражданин. Также мыслил, как лучше старался, на что-то рассчитывал, чаял, любил свой край. А ныне? Время сделало с ним свое неприглядное дело: сидит себе в богадельне, чудит, улыбается и скоро умрет. Бедный Яша, с каким жестяным безразличием проехался по тебе катафалк истории, гремя и шатаясь, как шарабан подгородного керосинщика, кровельщика и старьевщика, взятых в их триединстве.

Вы вольны спросить, а не занимаемся ли мы тут мифотворчеством, подтасовкой фактов, не творим ли себе кумира в форме эдакого малоизвестного, что ли, матроса. Нимало. Указанный Незабудка, если хотите, реальнее нас, оторвавшихся от действительности небожителей. Он зримей, будничней и земней. На днях, навещая несчастного в упомянутом заведении для гвардии пожилых, мне показали его персональную карточку. Год, месяц и даже число рождения Яши целиком соответствовали году, месяцу и числу рождения меня самого. «Ровесники! – изумился я. – Но какие разные судьбы». Надеюсь, что это душераздирающее совпадение поможет Вам утвердиться во мнении, что Незабудка безусловно наличествовал, пребывал во плоти, был роста, возраста, пола, был – давайте не побоимся избитости выражения – человеком. Хоть был, разумеется, и отменный службист. Вот и теперь, предъявителя беспримерно зная в лицо, но и отчетливо сознавая устав, часовой зубами снял варежку и полистал документ. Изображение корреспондировало. А подпись к снимку внушала не только доверие, но и трепет: «Хранитель!» Часовой содрогнулся и конвульсивно отдал часовщику последнюю честь.

«Отдыхайте», – махнул рукою Лаврентий. Доброта генерал-генерала не знала мер никогда, и войска любили его, как умели.

Не мешкая, он взвинтил себя винтовой внутрибашенной лестницей до отказа и с маху толкнул входную, броней одетую дверь. Та вела в каземат механизма. Привычный запах казенного времени, сдобренный приторным ароматом особого часового масла, сработанного на маслобойнях Поволжья, показался Хранителю тошнотворно застойным. Сомнений в правильности принятого решения не оставалось: хватит, хватит, довольно.

Сегодняшнее заседание было последней каплей. Маленков упрекнул в неуплате масонских взносов, паршивец Шепилов сказал, что Лаврентий манкирует прямыми обязанностями, а этот офицеришка, этот жуковский лизоблюд Захаров обнаглел до того, что поставил ему на вид несвежий якобы подворотничок. А кто-то даже подставил ножку, когда в знак протеста Лаврентий чуть ли не выбежал из ложи. Неслыханно!

«Лаврентий, – кричал ему Ворошилов. – Куда вы?»

«Некогда мне тут с вами», – отрезал Хранитель.

Карьеристы, завистники, внутренне кипятился дядя, не брезгают никакими приемами. Или он сам споткнулся? Неважно, не суть. Ах, Иосиф, Иосиф, зачем ты оставил нас, генацвале.

Хотелось курить.

Безвременная кончина Генералиссимуса выбила из колеи. Который уж месяц не прикасался Лаврентий к любимой мингрельской лютне. А ведь бывало не проходило и вечера, чтобы задумчивыми пощипываниями иль пиццикато не извлек он из инструмента хоть пары аккордов. Где те вечера? Нет их. Да и вообще жизнь Лаврентия сильно переменилась, дела его стали табак, и всякий раз, как он разминал в музыкальных пальцах своих тонкую пахитоску и поджигал ее ломкой спичкой, он сознавал факт крушения с особенной ясностью. Поэтому в последние сроки дядя не баловался и курением, практически бросил его. Но сейчас, накануне конца, факты уже не имели значения; и он закурил.

Зима его тревожений была, как говаривало простонародье, сиротской. Морозы часто сменялись оттепелями, которые характеризовались длинными, он бы сказал, неприлично длинными для столицы сосульками. Тем не менее цапфы и шестерни, молоточки и маятники, пружины и храповики кремлевских хронометров взаимодействовали монотонно. Не подводили и градусники, и форсунки, и капельницы. Печать ухода лежала на всех устройствах, частях, все блестело или лоснилось, двигалось или стояло на месте, тикало или молчало, однако не интересовало уже Хранителя.

Он припас бечевку заранее. Верней, не припас, а заметил. На ней висел аварийный фонарь, освещавший цепную шахту. Закурив, Берия наклонился над ней и внимательно изучил пролет сверху донизу: ни фонаря, ни бечевки. Тогда, заметавшись мыслью но древу. Хранитель вспомнил, что третьего дня их в числе остальных вспомогательных инструментов, приборов свезли на инвентаризацию в Палату Мер и Весов. «В бывшую Оружейную», – подумал он в скобках; он был неисправимый педант.

Судорога огорчения свела генерал-генералу челюсть. Куранты забили половину девятого и оглушили. Он сплюнул, выбранился и осмотрелся. И тут фортуна, что в образе костяной старухи с косою незаметно подглядывала за ним откуда-то из угла, осклабилась и указала Хранителю на сыромятный ремень, который известным образом соединял стальную опору конструкции с одним из маятников. Тот был худо отрегулирован, и, работая по принципу поводка, ремень на каждом шагу одергивал, окорачивал маятник, суживал ему амплитуду, не позволяя пойти вразнос. Лаврентий никогда не отказывал себе в метком профессиональном речении. «Вразнос», – повторил он, испытывая сейчас особенно бережное отношение к слову вообще и в частности. «Вразнос», – отозвалось эхо. Реверберация в башне была поразительная.

Будучи при параде, Лаврентий вытащил кортик и, приноровившись к движению маятника, срезал ремень. Устройство петель не отняло и пяти минут, после чего до без шестнадцати девять оставалось четыре свободных. Он знал, что набросит крепезную петлю не на одну, а сразу на обе стрелки, поскольку одна, вероятно, не выдержит: тяжесть тела заставит ее обратиться вспять, и она опустится в положение получаса или шести, и петля соскользнет с нее. И он, пожилой государственный человек, ровесник целой эпохи, мешком упадет на зубья брандмауэра и в кровь разобьется. Трудно вообразить себе большой конфуз. Нет, концовка жизненной партии, хотя ты и проиграл ее, потому что любая смерть – проигрыш, – должна быть красивой, наглядной и вопиющей. Пускай непредвзятый потомок, листая пожелтевшие отчеты криминалистов, воскликнет: «Вот дивный эндшпиль!» – и залюбуется вчуже.

Но – земляки! Сын, внук и правнук закавказских огнепоклонников, Лаврентий предвидел, что родственники, земляки не похвалят его за избранный способ: огнепоклонник обязан погибнуть в огне, чтоб в огне и воскреснуть. Так поступали и поступают все наши высокогорные предки. Обычай суров, но прекрасен. Если тебе окончательно нездоровится, если состарился, жалок и немощен или же бесконечно устал от всего земного, собери себе

хворосту – разведи на закате костер – и подобно Зевесову сыну – подобно фениксу – отдайся всеочищающему милосердному пламени. И да пылает имя твое на устах, в очагах и во взглядах звезд.

Однако дядины обстоятельства были стесненными. Ибо где же набрал бы он нынче хворосту, где развел бы достаточный для свершенья обряда костер. Перелески и рощи Кремля зимою сквозят и легко просматриваются соглядателями, а ехать на дачу, за город, значило бы ввязать себя в досадную проволочку, чреватую тотальным фиаско. Да и тоскливо теперь на даче – муторно, нехорошо. Нет, только здесь. И немедля.

Так называемая ремонтная скважина циферблата, имевшая форму замочной, предназначалась для выхода на циферблат. Лаврентий Павлович подошел и открыл ее.

Продутый умеренными ветрами, Эмск возник перед дядей своей юго-западной панорамой –дохнул на него городской распутицей, неуютом складских помещений, жилищ, больничной карболкой, строительными работами, хлебной гарью, квашениями и солениями, ворванью и рогожами, бьющимся на веревках бельем, пищевыми отбросами, дегтем, свалкой, патокой и пенькой – заторчал фабричными трубами – трубами механических мастерских и пекарен – котелен – слесарен – ржавыми шпильями и крестами – куполами и башнями – и весь преломился он в лужах – в сточных канавах – в сочащейся из-за горизонта тягучей, времяобразной, как жизнь, реке цвета сукровицы и разбавленного спекулянтами кваса.

«Пора, – сознавал Хранитель. – Пора».

Без восемнадцати девять он сбросил шинель и вышел на цифру восемь. Высота охватила его. Впервые за десятилетия он наблюдал пернатых, паривших не над головою, а где-то внизу, как в глубоком ущелье. За скверной и суетою равнинной рутины Лаврентий совсем позабыл о подобных явлениях и теперь, встрепенувшись от забывья, подумал, как страшно, должно быть, он одичал на помпезной службе своей – размяк, подурнел, отвык от природы.

С отвычки подташнивало. И чтоб не упасть, он вынужден был ухватиться рукой за минутную стрелку, которая уже напознала на часовую. А часовой расхаживал внизу по брандмауэру, сутулясь по отчету дому и глядя под ноги. Когда же стрелки сошлись окончательно, Лаврентий, прижавшись спиной к циферблату, набросил на них крепежную петлю. Другая, нашейная, заняла свое место также. Заученным жестом, каким зачастую затягивал узел галстука, он, почти не заметив отсутствия зеркала, затянул их.

Затем оставалось решить вопрос о пенсне. Было три варианта: пенсне не снимать; снять и сунуть в карман; снять и выбросить. Рассматривая указанные возможности, он догадался, что независимо от того, на чем остановит свой выбор, выбор этот станет его последней волей, однако за неимением палачей исполнить ее придется ему самому. Взвесив все pro и contra. Хранитель выбрал последнее – выбросить; но осознал вдруг, что в спешке оставил пенсне на сенатской вешалке. И удивился, заметив, что втайне, исподтишка, пеняет себе за оплошность.

«Прощайте!» – ходульно подумалось ему тогда о семье. Отрешенно-улыбчивые, словно в фотографическом ателье, лица матери, дочери и жены слились в одно среднеродственное, но ненаглядное. И все же последняя мысль Лаврентия была о внучатом племяннике, которого он, несмотря ни на какие перипетии в их отношениях, по-отечески беззаветно любил.

«Палисандр, Палисандр, дерзай же!» – умогласно воззвал он ко мне в Новодевичий монастырь, балансируя на пороге небытия. И, по-детски всплеснув руками, шагнул в него.

## Книга изгнания

За годы потянувшегося за тем безвременья и сменившей его эволюции из прохуdivшихся кранов нашей твердыни воды утекло – на редкость. Вот и сегодня, внаброс окрыляя себя крылаткой, паки и паки влачишься в Комендантскую башню живым меморандумом: «Все

течет! Пришлите специалистов!» А комендант лебезит, заискивает, дескать, о да. Ваша Вечность, уже высылаем, уж выслали. Однако Улита все едет, и факт остается фактом: беспечности кремлевских водопроводчиков можно лишь позавидовать. А гофрированное косноязычье дождя все не рвется, мигрень разыгрывается как по нотам, и утро без тени сомнения преобразуется в вечер.

Заосеняло и мне. Сам – сырое ненастье, в сознании крайней задолженности грядущему, я (Биограф, смею надеяться, попустит нам это амикошонское перволичие единственного числа здесь и далее; равно как здесь и далее – примечания автора. П. Д. ) поспешаю предать бумаге обстоятельства моей жизнедеятельности. Поспешаю, да не спешу. И не краток я буду, но обстоятелен. Ибо – что бы там ни брюзжали завистники – на великом пути замечательна всякая мелочь, и любая, казалось бы, чепуха – знаменательна.

Никогда, например, не забуду убытие из Гибралтара. Кадриль – мазурка – виватный кант – выкрики «С Богом! С Богом!». Дрезина дернула – Отчизна придвинулась. Впереди, за хребтами и реками, вальяжно раскинувшись на многострадальном ложе своих исконных пространств, искусно убранном скромными полевыми цветами, ждала нас Россия (Даная!) . Кто-то, помнится, всхлипнул – платки всплеснули – хрупкая, изнуренная свадебными путешествиями фигура английского короля Чарльза Третьего отмежевалась влево, и, наплывая, ее заслоняла уже ладья какого-то порнографического киоска, но тут, рокируясь, король обогнул ее и, обставленный пешками сопровождающих лиц, изобразил фигуру прощанья. Поехали. И тогда-то, тогда-то я и увидел, как яйца, что только что и неколебимо покоились на закусочной околесице, покатались с нее – упали – и если бы не Амбарцумян, а точнее – не его упрямство, участь их была бы весьма плачевна. Простой армянин, не имевший ни малейшего представления относительно мистической сущности государства российского, но зато твердо веривший в его высокую судьбоносную будущность, повар нашей канцелярии на марше Амбарцумян Артак Арменакович был поваром закавказской несгибаемой складки. И пусть не единожды отдавалась ему команда: «Яйца неукоснительно всмятку варить!» – он варивал их неуклонно в мешочек, а то и вкрутую, как нынче. А нынче, насколько можно было довериться новейшему отрывному календарю на год за номером тысяча девятьсот девяносто девять, установились пригожие, прекраснотушные числа Льва-месяца, последние дни того чужестранного положения вещей, которое мы никогда не называли изгнанием; посланье – вот славное имя.

Некто, популярный среди верноподданных как Свидетель Российского Хронархиата и Командор Палисандр, я на поезде сугубого назначения возвращаюсь на родину. Кроме пиры яиц – а ведь так или иначе их следовало извлечь из-под легкой походной ванны, что я принимал – мне предстояло отведать немного бобов по-кентерберийски, трепангов, кальмаров, перуанской турятины, шпрот и свежей голубики со сливками – блюдо, возлюбленное мной со времен бесшабашной привилегированной молодости.

Я оглянулся. Свеча, при которой мне привелось набросать начальные строки исповеди, оплыла и угасла, а сумрак – не загустел. О молодость! Распорядившись тобою спустя рукава, сколь нередко бываем застигнуты мы рассветом на грани слез по щедротам твоим, коими ты едва ли не разразилась.

Игривая, ты разразилась граем хазарских харчевен, ширазских базаров, хорезмских гаремов и бань. Ты выплеснулась хартией вольностей, партией фортепьяно, грянула бранью казарменной барабанной побудки. Ты прынула рьяным пьянящим ливнем – прыная, будто воробьиная ночь. Ночь, когда доведенные до голубого каления карающие десницы протягиваются чрез все небо, все рамы растворены, драпри взвиваются и трепещут, а канделябры и бра – бликуют: начищены. Причем инструмент непременно распахнут, расстроен иль по-рахманиновски разбит. Не избегайте услуг настройщика, но прибегните к ним. Стремглав приведите себе на память, а то и сразу в гостиную, это невероятно взвинченное действующее лицо. То нередко студент всевозможных учебнейших заведений, но чаще – потенциальный студент. Выходя из дворян, хлопнул дверью и сделался разночинцем. Влюблен, недостаточен. Чахоточен и хаотичен. Вечен и обречен.

Вот его вермишель без соли. Вот средства от цыпок, потливости, от угрей. А тут – неоплаченные счета цирюльника. Жизнь займы, опереточный быт мансард. И – обречена с одним из других – существо обожания. «Канарейка, субтилка певчая», – определит сосед-орнитолог. «Консерваторка чертова!» – сгоряча охарактеризует консьерж. Сей прислушивается к поспешающим вверх похаркиваниям сказавшегося настройщиком пришлеца. Кудлатоголов, блудовзорен, расхристан, тот какой-то юлою взвинчивал свое худосочное тело на заветный этаж, мысленным глазомером примериваясь к пролету имени Гаршина, которого бесконечно ценил: как человека и классика. А инструмент, говорим мы, – распахнут. И вот уже партия этого допотопного фортепьяно, ликуемая в четыре неврастенические, алчные до бемолей и нигде не находящие себе места руки, и вся исполненная неопишуемой фиоритуры, фугобахально неистовствует: она состоялась. Внимая ее летящим с Ордынки бравурным обрывкам. Вы приступом ностальгии застигнуты в подворотне Боровицких ворот, где когда-то один Ваш до боли знакомый покусился на жизнь высокопоставленного функционера. О, как умиленно разнюнитесь Вы милиционерскому постовому в пахом пахнущую овчину его: «Ах, кажется, это – гросс-фатер: марш, постепенно переходящий в вальс и живой экосез». Молодость? Хлынула. Как? *Appassionato!* Да очевидно ли это? Достаточно ли все сие зримо? Ощутим ли неложный пафос великого мимолетья? Надеюсь. Ведь только подумайте: хлынула, захлестала, грянула, и вот – вот уж, впрочем, и отлетела. Прощай же. Слова мои о тебе да будут нетленны. И ничего, что из окон нашего кабинета в Потешном дворце, где составляются настоящие строки, мы не имеем вида на жительство суетливых кварталов неунывающей бедноты, ибо он открывается на торжественное великолепие Александровских палисадников; ничего – мы и отсюда, чрез велеречивое лепетание лип словно бы различаем надтреснутый, как пластинка, голос Булата – бродячего музыканта тех светозарных дней. И хотя главный ключ его был минор, трубадур забредал на наши пирушки желанным гостем и украшал застолье, как мало кто. А потом, где-то ближе к концу биографии, он забрел к нам в послание. Очарован явлением старомодной, как танго, латиноамериканской луны, он перестроил свое укулеле на залихватский лад и посвятил нам ноктюрн на мотив нестареющей «Девочки-Нади», этой непритязательной лакомки:

Наступила *poche*,

Выкатилась *luna*,

Здравствуй, моя старость,

Прощай, моя юность, –

пел он. Куплеты его оказались пророческими. Минуло каких-нибудь полстолетия – и все оказалось в прошлом. Настала пора прострелов, пора выписывать руководство по одиночеству, пособие по неспособности, самоучитель небытия; ибо где же учитель? И наступила пора окончательных мемуаров, последней, мандельштамовской прямоты.

Явившись на свет в семье потомственных руконаложников, а говоря без ужимок – самоубийц, я годам к десяти-двенадцати впадаю в сплошное сиротство, нарушаемое лишь визитами опекунов, чьим вниманием дорожу все менее и забот которых все более убегаю. Баловень судеб, я напоминаю себе пресловутого жадностью рыцаря, не желающего ущемления своего блистательного состояния; в нашем случае – состоянья свободы, в неверном мерцании отроческих ночников опознанного как осознанная необходимость, во славу которой редела и будет редеть не одна германская борода.

Отчужденность, благоприобретенная в ходе побега от ничтожных и ненавистных опеки, сказалась. Довольно долго я рос вдаль от страстей и сердечных привязанностей. И может быть, до сих пор так и вкушал бы я от наивных утех невинности, если б однажды не пережил озаряющее потрясение и не вспомнил, как некая многоопытная особа из числа беспринципных родственниц развратила меня, совратив. И хотя случилось это в ином, предшествующем воплощении, нынешние мои чувства и быт бурно преобразились.

О Мажорет! неистовая, циничная и прожженная «дама из Амстердама», единоутробная сестра моей прежней матери. Сколь искренне жаждется мне, чтобы ты не избегла

признаний измызганного тобою, едва не рехнувшегося от скверны твоих умений, от блеклых и дряблых, но таких малярно знобящих прелестей, от бульварных твоих романов с лакеями и форейторами, от погрязности, поруганности тобою. Ибо в своих признаниях я в частности обличу и тебя. С присущей мне прямою я поведаю здесь всю правду о том, как это было – как именно – как оскорбительно, томно, истошно. Как если бы это случилось не с нами. Не с нами, а чуть ли не с жабами. Случалось не так, как случилось. И даже совсем не случилось. Как ветер на галереях качал гирлянды китайских фонариков, играл на ксилофонических ветровых колокольчиках, бредил в жалюзях, растворял все двери, и тени ходили по залам, по их анфиладам, свидетельствуя о наших кромешных радениях. О, сколь дерзко то было с твоей стороны, Мажорет, – дерзко, кровосмесительно, неуместно.

Дерзай и ты, мое непритязательное перо, воздай обольстительнице за соделанное: сорви с нее, образно говоря, фарисейские облачения и, обнажив ей прожорливое межножье, отмети бесчестьем же. Возжелав возмездия, я позволяю себе не верить, что мертвые сраму не имут. Не верю! Сие суть ложные слухи, муссируемые сторонниками усопших, живо заинтересованными в их посмертной реабилитации. И поскольку уж мы заговорили о смерти, поговорим еще.

Незнакомый Биограф! Сказать, что старуха с дамасской косою гостила в наших фамильных чертогах нередко, значит глумливо блеснуть литотой, ее клинком. Генеалогическое древо Вашего корреспондента, уходящее своими корнями в кремлевский подзол, сибирский золотоносный песок, грузинский гранит и шотландскую глину, есть древо такого печального толка, что – как шутил Лаврентий – это уже не дерево, а готовая виселица. Поводом к чисто кавказской шутке его служили обычно надгробия на могилах наших с ним родственнике», тут и там видневшиеся по всему кладбищу – будь то Ваганьковское, Востряковское или Новодевичье. Хотя в смысле правительственных охот, проводившихся регулярно на данных угодьях, последнее было несомненно угоднее остальных. Если Вы искушенный стрелок, преимущества Новодевичьевого Вам очевидны, и Вы согласитесь: переоценить их немислимо. Если же нет, то извольте взглянуть на план. Обратите внимание: несмотря на то, что у меня нет решительно никакого желания вам растолковывать, что Новодевичье кладбище живописно разбито на территории одноименного монастыря и как бы заподлицо с ним обрамлено высокой стеною с бойницами, башнями, нишами и другими приметами фортификации, я уже, тем не менее, растолковал. В чем и раскаиваюсь, т. к. делать это гораздо проще, нежели перемарывать целый лист. Весь фокус, однако, в том, что, взойдя ввечеру на стену. Вы можете различить на фоне зари – не тянет ли, не летит ли уж дичь, и если уже летит, то есть тянет – поспешно спуститься, укрыться в нише и бить, с позволения выразиться, в угон. Тяга – так исстари называют не только эту разновидность охоты, но и многочисленные отчеты о ней в изящной словесности. Аксаков, Тургенев, Пришвин – нам дороги их имена.

Что же касается перемарываний вообще, то, верите ли, не стоит свеч. Сколько ни переиначивай – все равно не оценят. Поэтому в целом работаю сразу набело – потоком сознания, слов. Испытанный, верный способ. Воспалая воображение масс, им баловались еще Бальзак, Боборыкин, Скворода. Хорошо нам, писателям: пишешь, пишешь, и вот – бессмертен. Хотя и не всяк.

Разудите свое самодовлеющее седалище аллеями книгохранилищ, сих колумбариев добрых надежд и тщеславии. Указывая на бесконечные корешки, спросите Служителя: «Как сложились дальнейшие судьбы усопших? Не на ветер ли побросали они бисер слов?» Червяк, буквоед, глумливец. Служитель распоряжается захоронениями, как своими собственными, выдавая прах на дом на срок до двенадцати дней. «На ветер, – ответит Служитель. – И те, и другие благополучно забыты».

«Благополучно? Быть может, вы хотите сказать, забыты коварно, исподтишка, без суда и следствия, при закрытых дверях?»

«Мужайтесь,— скажет Служитель.— Они забыты за обыкновенной ненадобностью. Распространенное среди экзальтированных натур впечатление, будто достаточно умереть, и имя ваше просияет в веках, не подтверждается практикой. Вот уже сотни лет, как в хранилище почти никто не заглядывает. Увы вам, кропателям,— скажет череп Служителя,— иноходец Истории блед и необратим».

Тут Вам сделается ужасно, и Вы встрепетесь. Видение оборвется, но неумолимо продолжится явь: заседание магистрата, ложи, разнообразные литургии, приемы, парады, награждения отличившихся, именины и тризны. Что говорить, иноходец Истории требует жертв.

Споспешествуя ему по мере сил во всех его направлениях, сыздетства я увлекся хрупкими, тлеющими страницами первоисточников. Читаю. Рассматриваю диаграммы и карты, картинки и схемы битв. Грешным делом и сам играю в солдатики. Около пятидесятого года формирую потешный полк кремлевской охраны, по образцу петровского, и лета напролет — за исключением лет послания — командую им до глубокой старости. Пехота — это пречудно. Это звучит, отзывается в сердце, чарует. О ней, о славе ее оружия пристало творить эпопеи. Люблю и морские сраженья. Ценю их торжественность, плавность, распахнутость их театров.

И все-таки в целом история есть типичная кантовская вещь в себе. Если не замечать известной апокалиптичности ее интонаций, если не аполексичности их, то прежде всего отмечаешь тот неслучайный, быть может, факт, что она преисполнена скрупулезно датированных, но незнакомых и непознаваемых происшествий. Взятые по отдельности, они озадачивают; вкупе — обескураживают. В результате не знаешь, что и подумать — тревожишься — ожидаешь дурных известий — посматриваешь на дорогу — оглядываешься — удваиваешь посты. Но поскольку надо как-то определиться, встать в маломальски ученый строй, подравняться, то принимаешь волевое решение и формулируешь кредо.

Я лично решил для себя полагать и могу поклясться, что история есть процесс непрерывной, хоть плавной, ломки. Одно неизменно сменяло другое, другое — третье, а пятое, как говорится,— десятое. И всегда были люди, народы, публично питавшие друг ко другу симпатию или неприязнь; а где-то поблизости всегда оказывались какие-то люди, писавшие касательно этих взаимоотношений; и не переводились люди, писавшие об этих писавших, а также писавшие о писавших насчет писавших. И вот нам уже зевается, дремлет, читаемое, при всем к нему уваженьи, валится из рук, академическая (Поздравьте-ка, кстати: Ваш покорный слуга — действительный член сорока семи академий) мурломка сползает нам на чело, и мы опять засыпаем.

Такова история моего увлечения историей. Спору нет, ухажер я стал вялый, квелый, но знали бы Вы, сколь прилежно я волочился за этой капризной барышней во дни дерзновенной пряности. В подтверждение сошлюсь на собственные послания к Великой Княгине Анастасии Романовой, собранные, если не ошибаюсь, в пятнадцатом томе юношеских сочинений.

«Друг мой! — писал я в одном из тех писем.— Вы спрашиваете о моем отношении к гордой Клио, к суровому, но справедливому прошлому нашего родного Отечества. Что мне ответить? Я — с Вами. И Вам подобно, всей задумчивой русской душой прилепляюсь к далекому близкому, к дыму пращурова табака, к идеалам былого».

«Вместе с тем,— сообщал я далее,— есть в нашей будничной повсеместности круг реалий, к которым питаю я слабость в такой же мере. Вы, может быть, оскорбитесь вчуже за мелочность, приземленность пристрастий моих, но Вам я не могу не открыться и первыми в том кругу назову калоши». (Курсив мой.— П. Д. )

Ю. В. Андропов, курировавший тогда мою корреспонденцию, назвал выделенное здесь курсивом вольнолюбивой лирикой, и во избежание трений пришлось опустить сей абзац в том примечаний и вариантов. Однако же я отрекся не от убеждений — от слов. Так что перед судом все той же истории совесть моя чиста. И не таясь, говорю ему просто и внятственно: «Да, я люблю калоши».

Люблю, шагая слякотным предвечерем с каких-нибудь образцово-показательных похорон, вслушиваться в поквакивание заморских своих мокроступов и думать о чем-нибудь абсолютно не относящемся к случаю. На заутренней службе в Елоховском храме и в суматохе служебного дня благодарно улавливаю их лаковое благоуханье, навевающее полузабытые запахи марокканских фиакров, тасманских каучуковых плантаций, терпкие ароматы айсорских сапожен и проч. И гуляю ли в оголенных до неприличия пущах имени Горького, предаюсь ли увеселениям в куцах Нескушного, мысль моя поминутно обращается к ним: «Мокроступы!» С хорошим чувством читаю и перечитываю я их следы, отпечатанные на песчаных дорожках, безоговорочно принимая всю их (подошв мокроступов.– П. Д. ) пупырчатость и ребристость. Мне привычно сдавать свои мокроступы ворчливому церберу оперных гардеробов, привычно являть себя в астматическом полумраке прелюдий в глубинах балетных лож, но привычно же, не перенеся разлуки с искусством, этой жантильнейшей из разлук, торопливо обрушиться обратно в фойе – вручить гардеробщику хладный еще жетон – залучить мокроступы – обуть – выйти вон – возвратиться – вручить на чай – выйти вон – и выйдя, вдруг осознать, что – чужие. И снова вернуться. Вернуться – выбрать гардеробщика – вытребовать свои – в наказанье за разгильдяйство изъять чаевые – переобуться – и – вон – в промозглую эмскую хмарь и сумятицу – выйти в намерении никогда уже более не ходить в спектакль, пой там хоть сам Паваротти, пляши Нуреев, Барышников или шуми Шостакович – пускай меня и связала с ними блестящая закулисная дружба (Связала навеки!) ...

И я обожаю, вернувшись в конечном итоге из этих неудавшихся театров или же с удавшихся тризн, приказать, чтоб наполнили ванну – да поживей – и непосредственно с холоду, ничего особенно не снимая, поскольку все равно все стирать, погрузиться в нее, в ее зеленоватую хвойность и муть, и немедленно отойти всю сутью от суетных, недостойных тебя треволнений и передряг, этих побочных издержек зрелищных и музыкальных мероприятий. Хорошо потребовать кофе, ликеров, свежих газет и, не мешкая, понаделать из ваших, г.г. борзописцы, досужих умыслов – кораблей: боевых и опасных.

Люблю, повторяю, морские сраженья. На их театрах события разворачиваются куда бодрей. Бывает, воспользовавшись численным превосходством противника, канонерские мильницы «бледных» неожиданно начинают и методически уничтожают такую армаду «серых», как «Биржевые Новости», «Несчастные Случаи», «Заметки Фенолога», «Смесь» и «Работы но Найму», после чего береговая артиллерия «пегих», ведя перекрестный огонь, топит бледные мильницы. А той порою две наши глубоководные заслуженные субмарины, отдаленно напоминающие пару наших глубоких калош, возлежат на дне и осуществляют благосклонное наблюдение. А бывает – да мало ли что бывает в пылу батальи. Но что бы там ни было, по-крупповски неусыпно заботьтесь о боеприпасах! Огонь ведется из всевозможных орудий кусочками мыла, любезно изрезанного на них орудийной прислугой – она же и Ваша собственная.

Небезынтересно в настоящей связи отметить, что по мере возвращенья на родину в том незабываемом девятьсот девяносто девятом году мой денщик, а попутно и банщик Самсон Максимович Одеялов подавал мне в походную ванну мыла разных держав в той последовательности, в какой мы их миновали, поскольку снарядов хватало в среднем на два – максимум три – перегона. Сменялись и национальные стяги, условно реявшие над флотилиями неприятелей. Так, приобретенных в Гибралтаре газет достало лишь до Мадрида, с мадридскими мы едва дотянули до спасительного Аустерлица, а с парижскими с грехом пополам доползли до Брюсселя. А так как маршрут наш пролегал прощальным зигзагом чрез многие европейские страны, то в ходе маневров эскадры всех этих карликовых государств были потоплены. И не любопытно ли, что газета, уведомившая меня относительно гибели моего дедоватого дяди и заодно смутившая все течение моего сиротского бытия, была в равной степени чужеродной.

В те сравнительно отдаленные сроки Опекунский Совет временно выдворил меня из Кремля за недостойное поведение и вменил мне в обязанности непокойную должность ключника правительственного Дома Массажа, который теперь размещен в старом здании Генерального Штаба, что на Гоголевском бульваре, а в дни моего ссыльного отрочества ютился в кельях Новодевичьего монастыря, более или менее распущенного. Как-то раз, отдежуривав, решил принять грязевую ванну. Приемлю. Дремлю. Вдруг стучатся.

«Кто там?» – раздраженно окликнул я, полагая, что то какая-нибудь массажистка пришла беспокоить меня по поводу ссуды на лондонское белье или чего-нибудь в том же ничтожном духе. Здесь следует, вероятно, заметить, что модницы наши делились на «перманенток», или «послушниц», то есть безвыходно проживавших в Доме, и «прихожанок», называемых еще «визитерками», причем «послушницы» казались особенно требовательными и капризными.

«Кто же там?» – повторил я вопрос, застегивая на себе верблюжью пижаму. Одетые грязью пуговицы слушались плохо. Они выскальзывали из грязных пальцев и не попадали в отверстия петель. А если и попадали случайно, то устрицами выскальзывали из них, тоже грязных. Иной на моем, по выражению Пастернака, «бедственном месте» давно бы уж плюнул на эти пуговицы и приветил гипотетическую массажистку с распахнутой грудью. Обычай заведения допускали не только подобные, а и вполне неподобные вещи. Подчас в новодевичьих ваннах, бассейнах и саунах творилось непередаваемое. Но я никогда не участвовал в тех вакханалиях. Больше того. Полагая мытье и купание исключительно частным делом, я не уставал и не устаю запираť за собою двери соответствующих помещений и навсегда сохранил за собою же право плескаться одетым – в халат ли, в пижаму, а если потребует ситуация, то и в броню. Ибо стены, почтеннейший, имеют не только уши, но и специальные смотровые глазки, не говоря об означенных выше дверях с их замочными скважинами. Допускаю, Вам, может быть, наплевать. Вы, может быть, даже поклонник того философского направления, представители коего величают себя нудистами. Что ж, тогда извините. Тогда нам впору прощаться, т. к. нам вовсе не по пути. Т. к. интимно разоблачиться при посторонних – а посторонние, как нетрудно подметить, суть все – не мыслю. Со времени осознания себя исключительной личностью я старался не обнажаться даже пред собственным отражением, пусть это и было достаточно трудно, поскольку практически все кремлевские туалеты и спальни были тогда озеркалены. От пола до потолка. Включительно. И проклял бы я нашу помпезность и роскошь, и давно бы ушел из Кремля с кочующим мимо цыганским табором, если бы не сознание долга: сначала – перед Опекунским Советом, потом – перед Родиной. Долг. Ведомо ли Вам его чувство? Оно щемяще. (Мне не хочется, впрочем, чтобы у Вас сложилось обманчивое представление, будто бы я играю на Ваших патриотических настроениях, параллельно бравируя врожденной застенчивостью. Ничуть. Откуда Вы взяли. Я просто спросил.)

Свой долг перед нашим Отечеством я усматриваю во всяческом поощрении его неуклонного продвижения вверх по служебной лестнице в направлении истины, света, добра. Подгонять не надо. Однако следует бережно наставлять и способствовать. Ведь оно еще так удивительно молодо, хрупко и уж хотя бы поэтому не без греха. Оттого-то и за Отечество, кстати, мне тоже бывает смутительно. И, наверное, наоборот. Нередко мерещится, что народ мой не меньше конфузится за своего полномочного сына, чем тот за него. И думаешь: что за притча? Чем я нехорош ему? Косоглаз? Положим. Но Карл Двенадцатый – тот и вовсе был паралитик, а – на руках носили. А Сулла, Корнелий Люциус, которого буквально забрасывали цветами, когда он скакал по Аппиевой дороге, – разве он не страдал паршою? Нет, дело тут, кажется, не в обличий; иначе за что бы прозвали меня Прелестным?

И спрашиваешь: «Скажи мне, народ мой, откройся – не худо ли я справляюсь с обязанностями?» Молчит, кажет долу глаза народ мой. А скажет – обманет. Хитер. Хитер и робок народ мой перед сыном его. Да и тот не смелей: мнется как-то, тушуетя. И выходит,

взаимно мы с ним стесняемся и робеем. Словно собственных отражений. И нет того табора, с которым нам друг от друга уйти. А если и есть, то – куда же?

«Так кто же там?» – повторил я опять.

«Брикабраков», – ответил мне его голос.

Бельгийские графья де Брикабракофф обретались когда-то в Париже, достаточно тесно общаясь с семействами Бриков и Браков, над чем в те безоблачные десятилетия столь принято и приятно было подтрунивать. Страницы вечерних альбомов хранили милейшие эпиграммы на эту тему, экспромтом начертанные меж партиями в серсо и трик-трак, придававшими брикабраковским пятницам и средам какую-то неизъяснимую прелесть. «Рябит в очах от Бриков, Браков в салоне добрых Брикабракофф», – съязвил, например, В. В. Маяковский, сам его записной завсегдатай.

Но среды и пятницы немилосердно оборвались, когда торговое судно семейного процветания с партией исландских ландышей на борту налетело на риф, разбилось о корабельный бунт, и вместе с обломками, отпрысками и остатками роскоши бельгийцев выбросило к другим берегам.

Жили бедно, ютятся и лаясь. Страницы бесценных альбомов в отчаяньи разодрали на самокрутки, а дворянский партикул де продали нуворишам Птичьего рынка за совершеннейшие гроши. Парижанка до мозга костей, молодая графиня пошла по рукам, обрусела, и я познакомился с ней на одном из злчных вокзалов, куда меня, монастырского ключника, регулярно командировали за «визитерками» для нашего заведения.

«Жижи», – изысканно назвалась она, протягивая теплую руку, обтянутую нитяной потертой перчаткой с левой руки. Вечерело, накрапывало. Люд, шедший мимо, был щупл, зябл, приезж, и все это вроде бы располагало, но сердце мое уж пленилось турчанкою Ш., благочестивой, но трепетной капитанской матерью, так что с бельгийкой сразу все кончилось, не успев и начаться. Ведь, не в укор будет сказано каким-нибудь ловеласам, я – однолюб. А главное – она была не в моем амплуа.

Однако дебют Жижи в Новодевичьем случился удачен. Наутро ей предложили ангажемент, постоянную должность «послушницы», и вскоре она подвизалась уже на первых ролях. Карьера ее была решена. Массажирюя влиятельных протееже. Жижи оказалась в фаворе и выхлопотала синекуру для своего мужа Оле, который и постучался ко мне в то однажды.

Когда не двояк, круг обязанностей Оле Брикабракова представлялся тройк. И если с одной стороны Брикабраков работал вестником – доставлял в Дом Массажа известия и мелкую корреспонденцию из Кремля и обратно, то с другой, там и сям специальными веществами губя насекомых – клопов, комаров, тараканов, он фигурировал как опылитель. Был ловок, и ухо его украшала медаль «За верность». Летуч и ветрен, словно леклеровская кавалькада, он беспрестанно порхал, посвистывал, опыляя и семена, собирая дань сплетен и рассеивая ее на всех сквозняках. И стоило упомянуть его имя в гостиной, трапезной или бильярдной, как Брикабраков через минуту являлся там. Обладал ли он редкостной легкостью на помине или просто всегда и повсюду стоял за портьерой, почтительно вслушиваясь в разговор, и не было ли это третьей обязанностью его – неясно. Да и какое нам дело!

Оставив попытки по-человечески застегнуться, я вытянулся во всю мою поразительную длину и весь, не считая облепленной грязью главы, стал под грязью невидим. И лишь затем дернул шнур: щеколда отскочила: во исполнение собственного предсказания возник Брикабраков. Но если бы в месте действия было чуть-чуть темней, то я бы навряд узнал Брикабракова. Скорее, я принял бы его за вылитого двойника Брикабракова – настолько тот оказался самим собой, настолько типично по-брикабраковски выглядел, двигался, говорил. В своей вызывающей подлинности он казался недостоверен.

«Bonjour», – говорил Брикабраков.

«Bonjour», – отвечал я ему по возможности в нос и картаво.

«Все сибаритствуете?»

«Напротив: лечу себоррею. Присаживайтесь».

Оле примостился на канаве. Он был моложав. «Представьте,– заметил он,– составилась партия в покер, и девочки ободрали меня, словно липку. Вот не руте!»

«Примите мои соболезнования»,– холодно молвил я, никогда не игравший на деньги.

«Вы знаете, между прочим, как прозвали вас эти каналы?» – сказал опылителю.

«Прозвали? – настожился я.– Но – за что? Разве я подал повод?»

«Не будьте наивны. Женщинам здешнего толка повод не нужен. Достаточно им слегка приглянуться – и еще одного доброго имени как не бывало. А в вас, красавчик, они влюблены, будто кошки. Почти поголовно».

«Гиль!» – хрипло сорвался я в дискант. Металлическое корыто, угрюмо висевшее на стене, откликнулось целым концертом для контрабаса с порванными струнами.

«Факт,– сказал Брикабрак.– Особенно перманентки. Прямо сбесились. Но самое поразительное – другое. Самое поразительное, что вы этим фактом бездумно пренебрегаете, не принимаете его к рассмотрению. Вы – ключник, любезнейший, осознайте. Вы – по древней традиции – есть лицо, начальствующее над всеми монастырскими скважинами. Причем не только, и даже не столько в прямом, сколько, знаете ли, в переносном смысле». Жест, которым Оле проиллюстрировал свою мысль, был малоприличен. И граф продолжал: «Да, ваша должность двусмысленна, тем и трудна, я знаю. Зато она символична, почетна. Зато вы служите не каким-нибудь клерком на побегушках вроде любого из нас, неудачников, а вы служите символом сокровенной власти и воли к ней. Однако вместо того, чтоб использовать свое служебное положение по назначению, вы его не используете. Dommage,– сказал Брикабрак.– Dommage. Нет, не зря они вас прозвали Лемуром».

«Лямуром?»

«Лемуром,– поправил он.– Вы – Лемур, дорогой мой, подумайте».

И тогда я сказал ему: «Вы, наверно, ослышались, граф. Тут, в России, не может быть никаких лемуров. Тут слишком холодно».

«Не играет роли. А кроме того, на лямура вы тоже смахиваете. У наших стрельцов, в караульне, висит, если вы обратили внимание, гобелен – мальчик с луком и крыльями. Обратили? Типичный вы. Правда, вы несомненно крупней и старше, да ведь Бог их всех, купидонов, знает, какие они на практике. Говорят, отдельные особи бывают довольно матерые. Так что не спорьте: вы и то и другое. И то и се. Вы двуедины. Вернее, двулики. Двуликий Дальберг. Представьте».

«Не сочиняйте»,– сказал я раздавленно.

«Горячность, с какою вы возражаете, красноречива,– ответил граф.– Впрочем, суть-то не в этом. Сказать откровенно, я забежал задолжаться, залезть, то есть, в долг, занять у вас энную сумму денег. Ведь я проигрался, подумайте».

«О, конечно, увы вам,– заметил я.– Однако войдите и в мой расчет. При всем обоюдном желании я не наскребу у себя и десятой доли такой исключительной суммы».

«У себя? – изумился граф.– А разве я предлагаю вам одолжить мне из личных прибережений? Ужель я настолько бестактен, что в силах уязвить человека его недостаточностью? Поверьте, я хлопочу не о ваших карманных или чулочных, там, средствах. Отнюдь. Опекунский Совет, я догадываюсь, держит вас в несколько черном теле, не так ли? Но повторяю: вы – ключник, любезнейший, со всеми вытекающими отсюда ключами. В том числе и от сейфов. А это уже немало. Это, считая по-италийски, несколько миллионов лир нетто. Как минимум миниморре. Казенные. То есть почти ничьи, безнадзорны. И когда вы негласно одалживаете кому-то их часть, то сначала совсем ничего не заметно. Совсем. А после – после я уже и верну. Незабвенно. Буквально в самом ближайшем. Ну-с, по рукам?»

«Невозможно,– ответил я опылителю.– Вообразите, что скажут в Совете, если придет ревизия и недостача откроется. Невозможно».

«Ах вот как,– увял Брикабрак.– Похвально. А я по наивности полагал, что мы с вами приятели. А вы не думали, кстати, что скажут в Совете, если откроется, что внучатый

племянник Лаврентия Павловича, сидя в ванной, грешит онановым рукоделием. И главное – каково себя будет чувствовать сам дедоватый, вообразите».

Потеки грязи распространились мне на лицо, и для смущения, таким образом, не было видимых оснований. И, преодолевая его, я не столько вспыхнул, сколько вспылал: «Откуда вы знаете? Вы не знаете! Я всегда запираюсь».

«Не запирайтесь, вас видно насквозь».

«Вымогатель! – подвернулось мне хлесткое слово.– Хотите оклеветать невинного. Пользуетесь его несовершеннолетием. Полагаете, если он обретается на поруках, а вы облечены келейным доверием, то поверят вам – не ему. В добрый час – клеветайте. Однако не обнад сживайтесь, что вследствие шантажа одолжу я вам денег. Наоборот, я одолжу их не вследствие, а вопреки, чтоб вам сделалось покаянно».

«Идет! – восклицал Брикабрак.– Заметано!»

«А за грехи мои,– молвил я,– попросил бы не волноваться. За них я отвечу сам. И не где-нибудь, не в каком-то там жалком Совете, но в Высочайшей Инстанции! Я отвечу, что будучи человеком долга, человек не может позволить себе интимности с сослуживицами, и вот – принужден мастурбировать». И, нащупав на шее своей монисто, набранное из ключей, на ощупь же отстегнул я один из них. И протянул его. И вручил. По моим словам, он отмыкал лакированную шкатулку в моих покоях. «Ступайте и отоприте. В ней – сумма, отпущенная на лондонское белье для послушниц. Какая именно? Именно энная. Расписка? Расписку оставьте себе в назиданье. Но ключ верните».

«Брависсимо! – ликовал Брикабрак, выпархивая.– Брависсимо!»

Оцепенело ополоснув лицо, я заметил на канаве газету. Газет мне не полагалось. Опекунский Совет не выписывал мне периодики, справедливо догадываясь, что весь этот – по выражению Байрона – «вздор докучный» меня не касается и будет лишь изнурять. Поэтому я объяснил себе наличие газеты на канаве в моей процедурной тем, что курьер Брикабрак оставил ее случайно, забыл.

«Случайно? – проклянулся где-то в сплетенье птенец интуиции.– Забыл?»

«Будущее покажет»,– спокойно ответил ему внутренний голос.

Вследствие непричастности к новостям как таковым, не говоря уж об элементарной моей брезгливости – к ним и предметам чужого пользования вообще, я никогда бы не посягнул на газету, оставленную пренеприятным мне опылителем. Не посягнул бы в принципе. Но газета, из коей мне предстояло узнать о потере последнего моего родственника из ближайших – ближайших, по крайней мере, по духу,– была, как я уже замечал, иностранной. Экзотика ее броского оформления дразнила взор. И рука сама потянулась к изданию. Так любознательность оказалась сильнее предрассудка.

Я мог бы, наверное, обмануть Вас. Мог бы измыслить какую-нибудь несусветную «утку» наподобие тех, что на каждом шагу сочиняет присяжная шайка мемуаристов в составе предателей родин и палачей народов, бандитов и узурпаторов, холуев их ничтожных величеств и представителей несуществующих национальных меньшинств, фигуранток и суффражисток, институток и проститутток, заложников и наложников, вдов и отпрысков, греющих руки над теплыми еще урнами с именитым прахом, и прочей шушеры, обремененной избытком памяти. Я бы мог, например. Вас уверить, что выписал из какой-нибудь Гваделупы чепчик а-ля Че Гевара, и присланный чепчик завернут был в эту газету. Или что эту газету занес мне в ванную комнату мусорный ветер радужных перемен. Или все, что хотите. Только в отличие от перечисленных выше мошенников я берег свою совесть смолodu, и оттого, не стесняясь предстать перед Вами в банальном, но невечернем свете правдивости, подтверждаю: газету «Албанское Танго» (Орган тоскских сепаратистов в Новой Этрурии, ратующих за провозглашение северной ее половины анклавом Албании) занес мне курьер Брикабрак.

Довольно хорошо образован, и, в частности, весьма филигранно владея тоскским наречием – должен признаться, на редкость абракадабрым,– я поначалу увлекся заметкой за подписью Обозреватель. «В обозреваемом будущем,– интимничал он,– белье для дам

зашагает в ногу с прогрессом. Оно потеряет сегодняшнюю актуальность, обретет массу кружев и постепенно сделается совсем прозрачно, а то и призрачно».

Даже теперь, когда кровь уж давно перекипела во мне, я не способен цитировать приведенные строки без сладостного содроганья. Да, я – Свидетель, но в некоторых отношениях меня не назовешь безучастным. Учтите: далек от идеализации полового акта как самоцели, я никогда, тем не менее, не чурался здоровой эротики. Воображение отрока подогревали и объявления колбасников, иллюстрированные натуралистическими изображениями изделий. Публиковались и объявления более общего свойства. В них без конца кого-то разыскивали, умоляли откликнуться, призывали к сожителству, что-либо покупали, обменивали, продавали и соглашались на все. И вдруг – примите мои уверения, все, имеющее решительным образом помутить течение вашей жизни, случается или возникает внезапно – вдруг в опасном соседстве с торжественными обещаниями «Оскорблю и унижу», «Растлю малолетнюю», «Зацелую допьяну» – предложением обоюдовой сделки, сопряженной с обменом мании величия на манию преследования – и уведомлением о предпраздничной распродаже гробов мне метнулось в глаза приблизительно следующее:

«Состоятельная чета этрусских дворян, проживающая в герцогстве Бельведер, увнучит блестящего одинокого юношу соответственного происхождения, имея в виду отцветающих лет совместное с ним проживание в средневековом фамильном замке, далекие путешествия, музицирование, мелодекламацию, решение и составление викторин, крестословиц и прочие способы приятного времяпрепровождения. Постепенная передача в наследование ценных бумаг и других подвижных и недвижимых ценностей разумеется. Рекомендации надлежат».

Обворожительно улыбнувшись, я окинул себя посторонним взором. Сомнений не возникало: кандидатура моя удовлетворяла всем требованиям дворянского пожилого гнезда. Посудите сами.

Родителей своих я не помнил. Кремлевские Мойры – кормилицы, няньки и приживалки, в ненастье и в ведро вязавшие на скамейках Тайницкого сада, рассказывали, что мать и отец-часовщик мои жили счастливо и умерли в одночасье, приняв какие-то подслащенные порошки. Так или иначе отошли на иные – пусть не всегда летальные – планы родные бабки и деды, тоже часовщики, мастера единственно верного, эмского времени. Сестер и братьев мне Бог не послал. Экзистенс многоюродных теток элегически затерялся где-то в Староконюшенных, Кривоколенных, а из двоюродных родственников по-настоящему близким приходился мне только Лаврентий, председатель Совета Опекунов моих. Правда, с годами привязанность наша ослабевала, обоих одолевали будни, и сходились мы в основном на охотах да в храме, и то по престольным праздникам. В обычные воскресенья он службы не посещал, и Патриарх Алексей на дядю при встрече косился и оклобученно покачивал головой. Таким образом, я и вправду был одинок, неприкаян, а блеска, незаурядности мне было, конечно, не занимать.

Писал, например, я прекрасно и много. Залеживаясь в ванной библиотеке своей до рассвета, работал верлибр и гекзаметр, амфибрахий и ямб. Создавал, освежал, разрабатывал виды и роды поэзии, прозы, драматургии. Почти все жанры меня занимали, влекли. И все, что мною творилось – творилось само собой, с той же моцартовской легкостью, что и ныне. Но был я скромнен. Не раз, шлифуя дикцию, мимику, жест, репетировал я на сценах Большого Дворца и Кремлевского Театра перед пустыми залами, однако публичное мое чтение совершилось только однажды – на традиционной елке в помещении Арсенала. Туда в Сочельник стекалось свободное от дежурств население крепости – крепостные, как мы себя шутя называли. Шутки и песни, шутихи и бенгальский огонь, конфетти и конфекты – вот типичная атмосфера кремлевского рождественского застолья. Не обходилось и без курьезов. Один из них связан с моим выступлением.

В тот раз гостями на нашей елке были вьетнамские лидеры во главе с Хо Ши Мином. Летосчисляя восточно, стоял год Мокрицы. Гвоздем программы наметили поэтический блицтурнир. Участникам предлагалось составить экспромт. Робея толпы, я сидел под наряженным деревом и рассеянно поедал нечто вроде филе в желе. На голове у меня была маска жирафа, и все вокруг говорили, что я в ней необыкновенно пригож.

Выступали Буденный, Молотов, Маленков. Выступал Вася Сталин, знаменитый в будущем выпивоха и преферансист. Выступала тетя Нина Хрущева, бессменная наша Снегурочка. И другие. Дети и взрослые, штацкие и военные. И каждый внес свою яркую лепту. И все-таки выступление Леонида Брежнева было особенно незабываемым. Он вытянул фант «К любимой», немного подумал и, похожий в своем маскарадном жабо на енотовидного чиновника из департамента Потусторонних Сношений, каковым он, в сущности, и служил, проскандировал:

Ты меня ревнуешь,

Значит, любишь – да?

Отчего же губки дуешь

На меня всегда?

Посыпались умиленные аплодисменты.

«А ты, Палисандр, почему не участвуешь? – хитровато сощурилось на меня жюри в лице его единственного члена дяди Иосифа.– Ты разве не сочиняешь? Порадовал бы собравшихся».

Тетива перцепции моей натянулась, и я осознал, что Генералиссимус отлично осведомлен о моей одаренности и внимательно следит за успехами сироты. Размеренно, шагами грядущего Командора, приблизился я к лотерейной вертушке и, вытянув фант «Политика», зачитал озарившее:

Из дверей, занавешенных густо,

Взошел человек без ушей и щек.

Быстро сказал: «Передайте Прокрусто:

Китай к коммунизму сделал скачок».

Овация потрясла хрустальную люстру. Публика кинулась к авансцене в намерении качать вундеркинда, но сил не хватило. Все снова расселись.

Возвращаясь к себе под дерево, я заметил, что старая лиса дядя Хо подошел к Иосифу и, приоткинув маску, бросает ему в лицо что-то едкое. Спустя минуту жюри назвало лауреатов. Первый приз, официальный визит в Сан-Марино, получал Вася Сталин. Вторым, дружественным визитом в Финляндию, награждался Брежнев. А я устаивался лишь третьего. Он состоял из, с моей точки зрения, унижительной братской поездки верхом на муле по горной Маньчжурии. Я оскорбился. И, выйдя вон, крепко хлопнул дубовой дверью с имперскими двухголовыми птицами.

«Не печалуйся»,– догнал меня в коридоре дядя Иосиф. Ладони его мягко легли мне на эполеты КРУБС – Кремлевского Ремесленного Училища Благородных Сирот.

Училище состояло из оружейного, часового и погребального отделений. Студенчеством на последнем, я шел на одни пятерки. Тема мне предстоявшей дипломной работы формулировалась туманно: «Сравнительная характеристика похоронно-процессуальных кодексов Нижней Мальты и Верхней Вольты». Но, взяв девизом известное изречение Цицерона «Уходя, уходи», столь милое сердцу Хранителя, я намерен был защититься с блеском.

Порывисто обернулся я к Сталину: «Я не хочу в в Маньчжурию, дядя Иосиф, там – дико».

«Неволить не станем,– ответил он.– Однако ты должен понять, почему я не мог наградить тебя ни первой премией, ни второй. Ты допустил дипломатическую бестактность. Нужно было сказать не Китай, а – Вьетнам к коммунизму сделал скачок. Хо отчитал меня, как последнего семинариста. Нехорошо получилось, негостеприимно».

«Простите, я не подумал. Все вышло, право, экспромтом».

«Забудем,— Иосиф обнял меня за плечи и доверительно молвил: — Я знаю, Сандро, ты — поэт Божьей милостью. Мне докладывают. Да я и сам кое в чем маракую. Попомни слово Генералиссимуса: когда-нибудь ты взовьешься в самое небо, и равных тебе не будет. А пока потерпи: оперись, окрепни, набей, понимаешь, руку». И он пожал мне ее.

Мы оба расстрогались и, скрывая слезы взаимной привязанности, взглянули куда-то вверх. Флаг над Сенатом поник, убелен идущим как бы на цыпочках снегом. Было самое время вылепливать снежных баб. Время строить и укреплять наши снежные бастионы, играть в снежки.

Никогда не забуду, как заразительно лихо ворвались мы с полководцем в громокипящий празднеством зал, и дядя Иосиф, рвя крючья допереворотной косоворотки и заглушая зыком медную падеспань, призвал веселящихся к боевому порядку. На ходу дотанцовывая, дожевывая бутерброд, публика повалила на двор Арсенала. По моему приказу, отданному еще в ноябре, потешная гвардия заложила там снежный игрушечный град.

Разобрались на партии. И едва завязалась потеха, как чьим-то шальным снежком Иосифу сбило фуражку. Тогда он нахмурился, и войска разбрелись восвояси.

Шагая в ногу с Генералиссимусом по кремлевской брусчатке, посыпанной крупной каспийской солью, проконтролировать смену почетного караула у Мавзолея, я находился во власти той неопределенной смятенности духа, которую нередко называют тревогой. И при виде каменноликих, словно бы столбняком одержимых стрельцов-привратников, при виде их церемониально деревенеющих, траурно стынувших на каждом подкованно цокающем шагу отчеканенных сменщиков, меня постигло дурное предчувствие.

«Не была ли наша невинная снеговая игра, так нелепо закончившаяся, лишь прелюдией к чему-то более непоправимому, роковому?» — спросил я себя.

«Увы,— отвечал мне под переборы курантов внутренний голос.— Увы».

Беспардонная, продувная, прожорливая бестия Вечности уж алкала себе новой жертвы, и соль хрустела под обувью, как на зубах.

Врожденное уважение ко всякого рода писчебумажному, развившееся с годами в неизлечимый, но гениальный недуг графомании, не должно тем не менее заслонить остальных достоинств Вашего корреспондента. Никуда, например, не спрячешься от наиболее зримого: я велик. Знаете ли Вы, что с младенчества мне все приходилось не впору, все было мало, и, чтобы не мучить плоти, я почти постоянно ходил то в тунике, а то в хитоне.

Известно также, и документально подтверждено, что под сорок четвертым годом голландские ванноделы сработали для меня специальный сосуд — навыврост. Но вскоре прихлынуло отрочество, полное половозрелых забав, и, упираясь в мужающий подбородок, из поллой воды и грязи опять заторчали колени. Последовал новый правительственный заказ. Полученное было сродни надувной резиновой лодке. Надув, Вы усаживались в это эластическое плескалице и привычным телодвижением академического гребца переходили в положение лежа, одномоментно растягивая собою сосуд на собственные габариты. Безразмерная, ванна почти облегла Вас. Влага поэтому в основном вытеснялась телом, а небольшая масса оставшейся быстро стыла. Будучи хрупкого здоровья, но нередко витая в других эмпиреях. Вы почти что не замечали этого. Закалка сказалась. Крепостной эскулап Припарко Семен Никитович в своих медицинских воспоминаниях констатировал: «П. перестал прихварывать и сделался еще крепче душой». Прекрасно; а был ли я силен и физически? Вне сомнений. Так, шея отловленного на кремлевских задворках цыпленка сворачивалась мной, малолетним, с такой же легкостью, с какою мой дед по матери Григорий Новых (Распутин) сворачивал шеи своим идейным противникам. С молоком кормилиц всосал я восторг перед замечательным старцем. Его поясной портрет, обретенный в семейных архивах, стал одним из моих настольных. Он высится меж чернильным прибором и черепом капитана Кука, подаренным автору полинезийским вождем. Череп мог бы служить мне пепельницей, однако не служит, ибо я никогда не работаю в кабинете. Годами царящий там кавардак претит мне, но в принципе

безысходен: прислугу туда я не допускаю – она у нас чересчур любопытна, а самому прибраться то, знаете ли, невдомек, то, вроде бы, недосуг, то что-нибудь третье. Поэтому главным образом творю в процедурной, читай – в ванной комнате, в ванной библиотеке. Рядом с Распутиным – изображение более отдаленного предка: сэр Лэрри Дальберг. Немец грузинского происхождения (Полная фамилия – Дальбергия), он связал себя первым браком с прародительницей Уинстона Черчилля, Шерри Фли, а вторым – с шотландской принцессой Пегги. Гигант о девятистах с лишним фунтах, Лэрри прослыл полнейшим человеком эпохи, но полнота не мешала ему работать на благо и процветание общества, быть его полноценным членом. Владелец большого узилища неподалеку от Глазго, он содержал заведение в образцовом порядке и добросовестно выполнял поручения власть имущих, связанные по преимуществу с казнями диссидентствующих молодчиков. Не вдаваясь в портретную характеристику пращура, укажу лишь на самую выразительную деталь его туалета. На голове у Лэрри – мешок, а точнее – мешковатая маска с прорезями для всепроницающих глаз. Палаческая карьера Дальберга достигла своего апогея в пятьсот восемьдесят седьмом году, когда он, в невидимых миру слезах, обезглавил свою любимую тещу Марию Стюарт и стал предметом ночтенья и зависти передовых зятьев Возрождения. Труд Дальберга был высоко оценен. Яков Первый Английский наградил его титулом Лорда и орденом Топора первой степени.

В часы процедурных раздумий о судьбах Родины я умозрительно, но откровенно люблюсь моими досточтимыми праотцами. Тому ж, кто, стесняясь невысокого происхождения, пытается отыскать свои корешки в чужом огороде, говорю не тая: ступайте и посмотрите, какую гордостью за не столь уж далеких предков – безвестных работников основных путей сообщения, разбойников и пиратов – светятся и даже как-то неуютно посверкивают глаза австралийской элиты. Особенно с наступлением ночи – ночи цикад и летающих тараканов, слетающихся на террасы особняков послушать ноктюрнов; ночи кроликов, муравьедов и броненосцев; ночи сумчатых упырей и русалок; с наступлением сумчатой ночи, бредущей своими пустынями от норы к норе за зернами подаяния; ночи, пожалованной за беспримерное мытарство бриллиантовым Южным Крестом, – пожалованной и осиянной. Ибо к кому бы ни восходил Ваш род – пусть к самому отъявленному прохвосту, – Вы не вправе чванливо отворачиваться от родственника в годину его запредельного отчуждения. Ибо кто Вы такой – кто Вы сами, чтобы, не зная доподлинно обстоятельств земного его пребывания, мотивов, побудивших его к неверным поступкам или будивших в нем зверя, хулить его, осуждать. Что за бестактность, право! Да сами Вы после этого жулик, сударь. Жулик и сноб. И я первый не поприветствую Вас из своего экипажа.

При всем при том вести свою родословную от высшей аристократии, мне подобно, тоже не возбраняется. Это облагораживает, бодрит. И если бы я не имел никакой информации о менее отстоящих предках моих, а среди приглашенных случились даже и знатные австралийцы, то и тогда я навряд ли ударил бы в грязь лицом на рауте у этрусков. Мне было бы чем блеснуть, генеалогически говоря, и им не пришлось бы краснеть за приемыша.

Так я мыслил, стараясь оценивать не только свои достоинства с колокольни этих беспримерно милых людей, а и достоинства их предложения со своей. Казалось, наша взаимозаинтересованность напоминает взаимозаинтересованность пары взволнованных Сарасате рук, которые не успокоятся до тех пор, покуда не встретятся, не обретут друг друга, и пальцы их не сомкнутся в замок, взаимозаполнив зияющие пустоты промеж. И лишь тогда Вам вздремнется.

И не беда, что, родившись и проведя столько лет в изоляции, за кремлевскими стенами, я никогда не бывал в Бельведере; зато теперь все во мне говорит за то, чтобы ехать туда хоть тотчас – хоть вскачь. И зато я пронзительно одинок, сиротлив, неумно талантлив. И пусть, наконец, музицирую я не часто и не ахти – музыкален я дьявольски. У меня обостренное чувство гармонии, такта, отменный слух. «Э, батенька, да вы, я чай,

абсолютный ушан», – сказал мне Стравинский, когда на его бенефисе, ребячествуя, я спародировал ля-диез прокофьевской чайной ложки, упавшей на пол по нерасторопности Ростроповича. Словом, участь этрусских ценностей, в т. ч. и бумаг, представлялась решенной, и все во мне в предвкушении внучатых ласк и «прочих способов приятного времяпрепровождения» – мелодекламирало и сослагалось в благозвучные гаммы.

«Писать! – зазнобило меня. – Писать! Проволочки губительны».

Перо, которым я сочинял тогда, было вечным. Я дорожил им и соблюдал все инструкции. Пользуясь поршневым наборным устройством, я регулярно и тщательно промывал капилляры пишущего узла водою комнатной температуры. Я никогда не эксплуатировал сей прибор возле пара и ртути, едких газов и щелочей. И ни разу – клянусь Вам честью! – не оставлял его у источника сильного излученья тепла.

Я отвинтил золотой колпачок, отвернул пластмассовый корпус. Затем, вращая рифленую гайку, набрал чернил и обнаружил себя в довольно растрепанных чувствах.

По причинам, которые если и будут изложены, то потом, жанр эпистолы до известной поры не манил меня совершенно. И если я редко писал в каком-нибудь жанре – так только в этом. И вот результат. Перед листом почтовой бумаги с грифом «секретно» и с водяным, потаенным оттиском «Дом Массажя Правительства имени Л. П. Берия» внучатый племянник последнего держится первоклассником. Не то чтобы нормы хорошего корреспондентского тона ему незнакомы: нет, он достаточно сведущ в них. Скорее, они ему просто претят. Положение усугубляется тем, что эпистола долженствует убыть во вне, в Зарубежье.

Безликая вереница наставников, гувернеров, бонн, призванных оттуда на частных началах к моему воспитанию, давно миновала. Но перед тем, как слиться вдали в типизированный образ ментора-эсперантиста среднего рода единственного числа, взятого в нуднейшем из падежей – винительном, эти модальные существа сумели придать воспитаннику известный лоск и подвигли к познанию целого ряда наречий, из коих и предстояло выбрать: на коем же изъясняться.

Древнегреческий и латынь отпадали без разговоров. Лапидарные, куцые, они бы только стеснили воображение. Тоскский, наоборот, казался излишне велеречивым. Использование родного мне русского или грузинского могло бы создать у моих адресатов ложное впечатление, будто будущий внук их – невежа, неуч, не дружен с иностранными языками и, манкируя образованием, жуирует жизнь. Писать на этрусском? Да ведь писать на этрусском этрускам – не значит ли одолжительно снисходить к ним, снисходительно их обязывать? В баскском, признаться, я был не слишком силен, санскрит рисовался слишком уж мертвым, французский – слишком живым, немецкий – черствым, английский – чопорным, а берберский нуждался в основательном освежении. Практики требовал и цыганский, поскольку шатры его непосед-носителей давно не пестрели у наших стен. Тягучие непогоды принудили этих теплолюбивых весельчаков откочевать ближе к югу. Парадоксально! Две-три скрипучих и хрустких, словно капустный лист, зимы кряду – и Вы начинаете путать спряженья. С другой стороны, морозы высвободили дополнительные часы для общения с более нордическими собеседниками. Служанка, развозившая на закусочной околесице утреннее какао и прозванная мною Эос, в те зимы заставляла меня в вечерней еще воде за чтением Сен-Симона и Энгельса, Ясперса и Маркузе, Хайдеггера и Фурье. Не по летам скукожившаяся и жухлая в отмщенье за перлюстрацию моих манускриптов и ябедничество, она приходилась кухней монгольскому маршалу Чойбалсану. Заметив как-то, что Эос тайком наблюдает мою процедуру из смежного туалета через небрежно покрашенное стекло, я вызвал ее колокольчиком и напрямик спросил: «Отчего вы так поступаете? Что вами движет? Не стыдно ли вам?»

Надменное монголоидное лицо ее прошило судорога замешательства, но: «Нисколько», – сказала она насмешливо.

«Да? Тогда раздевайтесь».

«Что-что?» – притворно удивилась служанка.

«Что слышите. Я собираюсь нынче же наказать вас, чтобы вам наконец стало стыдно».

«Наглец!» – отвечала Эос.

«А вы – неискренни, дорогая, и это прискорбно». Бешенство овладело мною вполне. Не сводя с нее своего магнетизирующего взгляда, я откладываю «Психологию детского страха» З. Фрейда, хватаю служанку за тощую талию, возношу над собой и усаживаю себе на колени.

Она вся затрепетала. «Пустите, мне холодно!»

«Потерпите, сейчас согреемся», – позволил я себе нечто в духе наших гвардейцев, нередко озорничавших со своими подружками в крепостных подворотнях.

Я действовал обходительно, но безапелляционно. Кисти рук моих словно бы сами искали и находили путь в неразберихе ее дорогого и модного для той эпохи тряпья со всеми его застежками и крючками.

«Только не это, – фальшиво жеманилась Эос. – Я ведь гожусь вам в бабушки».

«Только это, мой друг, только это», – сказал я с какой-то даже печалью.

Нащупав необходимое, пальцы услужливо разобрали податливые лепестки лилеи, и мое нетерпеливое альтер эго устремилось в открывшийся лабиринт. Вода заиграла, вспенилась, и поза Эос, все более уступавшей инстинкту, принимала все менее пристойный характер. Совершалась Зевесова воля.

Мне шел, если не ошибаюсь, девятый год, и, естественно, то была далеко не первая моя связь. Бытовой уклад и неписанные законы Кремля являлись несколько не монастырскими и предоставляли в известном смысле достаточные возможности. Ряд старейших актеров крепостного театра и цирка, сотрудницы библиотек, архивов, музеев и бань не считали зазорным уделить сироте часть досуга, тем паче что мужья большинства из них давно гнушались своими супружескими обязанностями. Однако ни с кем из служительниц муз не испытал я такого живительного катарсиса, как со служанкою Эос.

Причина тут, вероятно, в том, что к обычному и часто обыденному половому переживанию добавилось чувство восстановленной справедливости и сознание, что порок наказан. И невольно, хоть с робостью, сравнивал я себя с Бонапартом. Ведь тот укрощал дворцовых строптивниц именно этим способом, причем в самых неординарных подчас условиях: среди шумного бала, в пылу сражения, на параде. Сравнение было не в пользу автора. Мои условия показались бы корсиканцу непозволительно комфортабельными, думал я. И думал: «Нет, в узурпаторы я пока не гожусь». Так простая историческая параллель помогла осознать, что и в данном искусстве рука моя была еще далеко не набита.

И все-таки наказание выглядело достаточно профессиональным. Сначала я решил довести счет содроганий Эос до десяти и поступил так. Затем, не умея останавливаться на достигнутом, вынудил ее еще к четырем, после чего сбился со счета и ориентировался только во времени. Мы начали около половины восьмого, когда в предрассветных сумерках, сочившихся в окно процедурной (Край ванны касался его подоконника), зябко просеменили на заседание члены моего Опекунского Совета, а закончили после того, как они разошлись на обед, то есть около четырех пополудни.

Когда Эос в до нитки промокшем платье, и все пытаюсь его зачем-то одернуть, выходила из ванны, плоский, однако уже ничуть не спесивый лик женщины более не вызывал во мне раздражения. Впрочем, и видеть ее я более не желал; почему и отправил сушиться на кухню.

«Я буду жаловаться, – проговорила она, обернувшись в дверях. – До Генералиссимуса дойду».

«Зачем? – удивился я. – Разве вам не понравилось?»

Тогда, осознав всю беспочвенность и утопичность своих намерений, служанка истерически расхохоталась, обнаруживая таким образом оба ряда вставных зубов.

«Вот видите, как смешно», – молвил я с назидательной укоризной.

Монголка вздохнула и вышла. И сразу вернулась. По-девичьи прыскавая мелким провинциальным смешком и потупив очи мне в пах, говорила восторженно и подобострастно: «Ну надо же, надо же, экий ты весь великан».

Полагая сюсюканье моветоном, явлением недопустимой развязности и безвкусицы, – «Будьте любезны с органами своей экзекуции пребывать на Вы! – прикрикнул я на служанку. – Преподанный вам урок не дает оснований для панибратства, равно и для комментариев. И – ступайте».

Она удалилась, и мы остались просто приятелями. Впоследствии Эос уже не фискальничала, из чего я сумел заключить, что наказание пошло ей на пользу хоть несколько. А перлюстрировать и подсматривать она продолжала, ибо нету такой методы, путем которой мы исцелили бы женщину от любопытства. Я взял тогда специальные меры. Велел покрасить стекло в туалете в три слоя и начал писать по-чувашски. Беспомощно и вотще шевелились уста малообразованной Эос, пытавшейся прочитать мои тексты. Еще чуть ли не сам я указывал, что при всем своем любопытстве прислуга наша ленива, нелюбознательна и далека от лингвистики. Исключения вроде моего денщика Одеялова лишь подтверждают правило.

Проведя за кордоном полжизни и по мере возвращения из послания скупая газеты на станциях, Самсон Максимович Одеялов объяснялся с киоскерами лишь на пальцах. Долго я приглядывался к моему неразговорчивому попутчику, не решаясь найти хоть какое-нибудь объяснение его феномену. Наконец, в Богемии, в Пльзене, по-свойски распив с верноподданным дюжину одноименного зелья, отважился выяснить сей вопрос у самого Самсона.

«А чего это ты, Максимыч, наречиями пренебрегаешь? – пожурил я его. – Скверно, брат, скверно. Не к лицу денщикам российским с языками пижамничать».

Безоблачная до тех пор физиогномия Одеялова оживилась досадой, и он возражал. «Ах, Ваша Вечность!» – возражал он. И тут же, расхныкавшись в плисовую палисандровку, сушившуюся после ванны на плечиках, рассказал, как все было. Я же, внимательно сидя в своем хитатаре, скромном халате для повседневной носки в средневековой Японии, дал тезисы.

В механических мастерских, где бьет баклуши какой-то замасленный разнорабочий люд, из коего Сидоров выбивается в мастера, а Петров навсегда остается в простых механиках, находит себе посильное применение и отец моего Одеялова, Одеялов-отец, отец которого, Одеялов-дед, сотрудничал там же. Если не принимать во внимание молотки, не считать их, то из утвари, более или менее регулярно употребляемой в мастерских, достаточно упомянуть лишь угольники, клещи, тиски, наковальни, какие-то рашпили да кое-какие сверла. А что касается дефицитной наждачной бумаги, то достать ее можно было только у Сидорова, да и то не *toujours*.

Волей случая мастерские располагались на берегу проистекавшей из-за поворота реки и в кустарниках. И тогда, слегка закусив, молодые рабочие принимались ухаживать за гулявшими там работницами. Так в силу стечения обстоятельств родился Одеялов-внук.

А война, как обычно, выдалась пыльная, затяжная, и что до механиков, то мобилизация, а образнее выражаясь, лезвие ее брандирей, коснулось всех поголовно.

Только Петрова и иже с ним забрили на передовые, а Сидорова командировали в Бангкок за наждачной бумагой. Меж тем в цехах расформированных мастерских, торопясь на позиции, отдыхали кавалеристы интернациональных бригад. И в то время как местные барышни искали и без труда находили с зарубежными наездниками общий язык, более мужественное население держалось особняком и, полагая кавалерийскую белиберду несусветно чучмекской, глядело на конников буками. Ни бельмеса не понимает и подрастающий Одеялов. Однако пытливый, неистово он берется за языки: изучает, зазубривает и всякое слово, брошенное из седла, подхватывает на лету. И выучив множество языков, похвалялся. Узнав об этом. Господь решил наказать Одеялова и смешал

их у него в голове, будто игральные кости в горсти своей. И перестав различать их, Самсон взял ружье и ушел добровольцем. И армия стала ему как мать. А война – продолжалась.

«Принимая участие, – жаловался Одеялов, – не понимаешь, когда стрелять. Днем все прячутся, в сумерках все похожи, а ночи на фронте густы и наваристы, словно солдатские щи, и пуля в них вязнет и плющится».

Человек почти что нечеловеческого сложенья, почти с меня, лейтенант самокатных войск С. М. Одеялов с боями докатывается до предела непонимания и короткими перебежками отправляется вдаль.

«Та кампания закончилась миром, позорным для всех сторон, – резюмировал мой денщик. – Им досталась Вестфалия с Лотарингией, нам – Чукотка да Колыма». И, забеспокоившись, где стоим, он выходит скупить газет.

Ну-с, а Вы, господин Биограф, что там подделываете? Что скажете, сударь? На каком языке Вы писали бы на моем месте потенциальным родственникам? Посоветовали бы хоть постфактум. Молчите? А может. Вы тоже далеки от лингвистики? А? Но с этрусским-то, я надеюсь, накоротке? Иначе как же читаете Вы настоящую рукопись? В переводе, что ли? Иль Вы не читаете? Так читайте, читайте – Вы слышите? Непонятно. Да и вообще – что о Вас мне известно? Не скрою, сведения чисто гипотетические. Историк? Естественно. Исследователь архива? Сотрудник Палисандрова дома-музея, что должен быть расположен в здании Грановитой Палаты? (Так я по крайней мере указывал в завещании.) Почти уверен. Сидите, небось, копошитесь себе месяцами в моем барахле, перебираете разные там обноски да выброски – классифицируете – сортируете, письма – сюда, зубочистки – туда. Ах, неужели, мол, это факсимиле, неужели его рука касалась этой простой пипетки, неужто он сам скатал этот катышек из билета на конку. А денежка Вам тем временем государственная течет, денежка капает. Ну, положим – факсимиле, скажем – касалась, допустим – сам. Что нужды? Станный Вы, право, какой-то. Какая-то Вы, м. г., тварь дрожащая: все трепещете, умиляетесь, приискиваете утраченные другими иллюзии. На черта они кому сдались, между нами, девочками, говоря. Приискали бы лучше занятие почестней. Сегодня, в пору мистических откровений. Ваше место на сквозняке истории, а Вы тут сидите, эстетствуете. А кстати, бывали ль Вы в Бельведере? Конечно, конечно бывали. Там мило, не правда ли? Мой совет: воссоздавая пейзажный фон, не жалейте реалий и красок. Упомяните бегонии на лугу в Мулен де Сен Лу – непременно. И пинии. И мускусных лебедей, что развел Сибелий, наш управляющий. (По другим источникам – гувернер княжны Н.) И холмы, и куртины, и заходящее прямо в озеро солнце. А знаете, как любили мы наблюдать закат с галереи флигеля? Очень! Причем тот из участников зрелища, кто первым вскрикивал, едва светило притрагивалось краем своим к воде, за ужином получал две – подумайте! – сразу две порции сладкого. Какая живая традиция, но сколь недолго все длилось, сколь страшно рухнуло в тартарары. И все из-за женщины. Женщины, сударь, они в общем случае – зло. Поберегите же честь, будьте бдительны и бегите сих алчущих плотского. Не забывайте, до чего довела меня Мажорет, переоценив все ценности и принизив высокое. Хотелось бы так же выяснить, какие пути привели Вас к моим нотабенам, в мои кабинеты, чертоги. Званы Вы или призваны? Дайте как-нибудь знать, сообщите. Это краеугольно. А все напускное, наносное, вроде Вашего роста, возраста, пигментации и других особых примет – оставим в покое. В конце концов, мы ведь не в полицейском участке: расслабьтесь. И примите мои уверенья. Ваш П.

Пространно раздумывая о печальных последствиях вавилонского катаклизма, решая, которое же наречие выбрать, чтобы успешней снестись с предстоящими близкими, машинально продолжал перелистывать «Албанское Танго». Интернациональная пестрота публикуемых материалов радовала. Тут всемирный конгресс ухогорлоносиков молнировал о чем-то премьер-министру Навуходносору, там уж который век шла дискуссия меж самоедами и вегетарианцами, а здесь продолжалась полемика в среде отставного жандармского воинства. Пикируясь с товарищем по оружию и называя того штафиркой, автор перепечатанного из «Пари-Матч» письма настаивал, что при обороне

Бастилии конники их отделенья подвязывали хвосты лошадям желтоватыми лентами, а товарищ настаивал на розоватых и требовал сатисфакции и восстановления исторических правд.

Литературную часть украшала глава из книги маститого русского мемуариста Оползнева «Огни и Воды». «Чу! – в частности вспоминал он.– Пофриштикав артиллерийскими клецками и подошвами вверенного ему Его Величества Таврического полка раздрызгивая бульонного вида слякоть на Сенатском плацу, Сигизмунд Спиридонович Чавчавадзе-Оглы, хорунжий, чутким ухом бывалого бонвивана уловил холостой, как он сам, хлоп кухмистерской пушки, возвестившей, что в принципе можно б и отобедать. Тогда, усмотрев за рекою, над бастионами Петропавловской крепости шар бурого порохового дыма и собственно закурив, Сигизмунд Спиридонович загляделся на шпич, величаво венчающий достославное заведение, куда незадолго до здесь описываемых событий перевели офицерскую ресторацию, обретавшуюся прежде в Адмиралтействе и без сомнения благопрепятствовавшую работе последнего».

Опрометью просмотрел я нехитрую крестословицу, мысленно заполняя ячейки этих словесных сот. Черный железистый турмалин? Несомненно мерл. Согласный звук, образуемый при загибе кончика языка к твердому небу? Естественно, церебральный. Шестибуквенный кулинар наследного принца Конде, убивший себя за то, что не смог приготовить заказанное ему блюдо в срок? Разумеется, Ватель. (Ах, Артак Арменакович, мой верный, но непослушный повар Амбарцумян. Разве способен ты был на подобную жертвенность хоть фигурально.)

Имелась и викторина. Верно ли, интриговал составитель, что род победоносного Ганнибала восходит к племени каннибалов, что Капабланка наездами жил в Касабланке, Шопен держал переписку с изобретателем мусорных урн господином Пубеллем, а тот в свою очередь – корректуру его сонат? Верно ли, наконец, что Голда Меир в девичестве состояла в возвышенных отношениях с Шикльгруббером, и когда правительство Нидерландов не оказало ему политического приюта в Гренландии, он спрятался в Палестине под именем Моше Даян и наглазной повязкой? Я отвечал уклончиво.

А на странице тринадцать печатались некрологи – – – как вдруг налетевший сквозняк задушил свечу, и я принужден был прервать составление настоящих записок.

Я заметался. Неправда, что я боюсь темноты. Зря болтают. Однако же и любить ее не имею достаточных оснований. И я заметался в своем хитоне, как подсадной аргентинский вампир по кличке Перон, которого натаскали наши новодевичьи ловчие. И когда мы, бывало, стояли на тяге летучих мышей, он, привязанный за когтистую лапу к макушке какого-нибудь монумента или креста, так и вился. Я заметался по всей моей бункерной спальне. Забыв о слепорожденности ее окон, я принялся лихорадочно раздвигать гардины и закричал: «Одеялов!» Денщик возник. Он возник, гремя коробком шведских спичек и поскрипывая несмазанным сторожевым фонарем, словно молошным бидоном, с которым мавзолейные часовые отлучаются в колониальную лавку напротив: дескать, за молоком, а в действительности приносят в подобном бидоне бутылки с так называемым белым, каковое и распивают на важном посту, за что получают выговоры от меня персонально. Ибо, располагая зрительною трубой, я сижу в мезонине Смотрительной башни и наблюдаю. Так что не правы окажутся те догматики и схоласты, что станут с высоких университетских кафедр уверять нашу прекрасную учащуюся молодежь, будто армейская дисциплина при мне ослабла. Ослабла не дисциплина, а показуха – учтите. И не ослабла даже, а просто упразднена. Вместе с ней упразднен и ряд других институций. К примеру – бюро прогнозов. Ведь, фаталист, я решительно против гаданий; que sera – так, собственно говоря, и sera (Как будет... – так и будет (исп.) .

Ночной струит, стремится

Эк

зис

тен

циа

лизм,

указывал я в поэме «Беседы с Сартром».

Я взял у Одеялова протянутые мне им спички и оживил свечу. Операция удалась на славу, если не считать тех по ловкому совпадению семи остывающих на данном листе стеариновых капель, что сберегут для Вас оттиски моих пальцев: тех тоже ведь семь, как у деда. Воспользуйтесь лупой, всмотритесь. Линии отпечатков замкнуты, концентричны и, словно круги на древесном срезе, с годами растут числом. Не поленившись учесть их количество, следователь узнает возраст преступника. Вы – мой.

О неумные пальцы мастера, вы уже тронуты увяданьем. Стесняясь конкретно запечатленной в них избранности, он бдительно прячет эти чуть скрюченные, подагрические побегии куда придется: в муфту, в варежки, в карманы пальто. Или прячется весь. Отшельничая, лелея свое ни в чем не участие, он мечтает, хандрит, переводит картинки и презирает толпу. Презирает, но – соглядатайствует за ней. За ней – за улицей – площадью – за градом игр человеческих. И отражает увиденное со всеми подробностями и неурядицами, коими только и живо искусство. Ибо: «Да здравствует ишиас и холера, свинка и почечуй, инфлюэнца и люэс, чесотка и лунатизм!» – восклицают исцелители человеков. «Да здравствует хлеб наш насущный – грех!» – рассуждает служитель культа и бульваристка, околоточный и адвокат. «Да сбудется тьма египетская!» – молится просветитель. «Да-да, непременно сбудется, – мыслит художник, – да здравствует все перечисленное плюс все прочие неувязки и глупости вроде несчастной любви, отчуждения, семейных сцен и добрососедского человеконенавистничества». Так как что же ему описывать, если этого ничего не станет? Ведь далеко не каждый удовлетворится пейзажною лирикой. Вам, обывателю, вынь да положь трагедию, драму, зрелищ Вам подавай. Не напрасно по данным журнальных статистиков самая популярная рубрика – некрологи.

Страница тринадцать кишела ими.

«Умер как бил – наотмашь», – восторженно отзывался некий боксер о благородном жесте соперника: тот выбросился из окна гостиницы накануне решающего поединка. В возрасте шестидесяти четырех лет оставил свой клетчатый мир какой-то гроссмейстер, и где-то в курзале имело быть умильное публичное проигрывание последней, навсегда им отложенной партии. Сообщалось о гибели знаменитого бедуинского лесоруба, видного индийского матадора, почетного монтекарлского нищего. Умер и Зуммер, отец прерывистых телефонных сигналов.

Полоса была сверстана вдохновенно, со вкусом, и все некрологи смотрелись необычайно броско. Но самое очевидное место на сей прискорбной скрижали досталось единственному небезразличному мне уведомлению, и ясно, что поначалу я словно бы не заметил его, как если бы текст и портрет были смазаны, смутны. Типично: если у Вас умирает близкий, то Вы до того не желаете признавать факт утраты, что готовы решительно его игнорировать и считать покойного просто вышед: вот-вот вернется. Так в наших солдатских учреждениях чтят память героя, не смея сминать ни постель его, ни мундир.

Еще более неожиданной и несуразной представляется Вам зачастую смерть собственная, т. е. собственно смерть. Потому что покуда дело идет о прочих. Вы говорите ей в принципе нет, помещая этот феномен в область голой абстракции и рассматривая его лишь как некий эрзац, абсурд или жупел. Когда же в итоге всего на свете приходит и Ваш черед, Вы оставляете желать много лучшего. Вы огорчаетесь, ударяетесь в панику, браните врачей, палачей, судьбу. А теперь обратите внимание на меня. Хотя я и специализировался по классу гробокопания и кремации и шел на одни пятерки, смерть меня никогда не тревожила. Я презирал ее. И поэтому Ваши стенания, жалобы мне недороги и невняты. Доверительно поверяя Вам скромный опыт своего бытия и бессмертия, могу рекомендовать в приказном порядке: отставить! прочь слабость! Стыдитесь ее и будьте,

как я – без упрека. Ибо еще немного – и кончено. И Вас уже нет. И Вам уже не отмыться. Не высветлиться. И лик Ваш – Ваш образ ни при каких правительствах – никогда! – не воссияет в веках. И вымпелы с Вашим профилем никогда не зареют на реях. Будьте, как я и как Муций Сцевола, Геракл и Феникс. Будьте – и поступайте по вышеобъявленному: уходя – уходи. Лишь тогда, может быть, обессмертите Вы свое имя, как сделал это мой дедоватый. Его некролог начинался словами:

«Такого-то года, месяца и числа в Кремле известный государственный деятель кавказского происхождения Л. П. Берия, сказавшись занят, стремглав покинул экстренное заседание, проходившее в здании так называемого Сената, и, взойдя на Спасскую башню, покончил с собою на циферблате ее часов. Было без шестнадцати девять. За истекшие десятилетия в гармоническом сотрудничестве с подчиненными покойный с офицерской четкостью заботился не только о благозвучье курантов, но и о благозрочности сооружения».

«Брикабраков! Я знаю, что вы опять стоите за дверью!» – крикнул я, дочитав сообщение о великой гибели.

«Простите, – немедленно отозвался граф. – Я хотел постучаться, да призадумался. А в чем дело?»

«Во-первых, подсуньте ключ от шкатулки».

«Извольте», – сказал Брикабраков, подсовывая.

«Во-вторых, я прошу вас теперь же телефонировать в крепость и выяснить обстановку, а то сидишь тут в монастыре, как в деревне, и ничего не знаешь. Вы, кстати, просматривали свежие некрологи?»

«Не успел еще, закутился. А что – имеются негативные?»

«Вроде бы. По крайней мере, один. Впрочем, я не уверен. Вернее, не хочется верить. Во всяком случае, не сердчайте, что не могу отворить. Не одет. Точнее, переодеваюсь. Хочу поменять пижаму. Сменить. А то отсырела. Пожамкалась. Терпеть не могу подобного».

Интуиит, мастер сложной дворцовой интриги, я, признаться, вводил Брикабракова в известное заблуждение. Затворничество мое было вызвано вовсе не переодеванием, хотя, положа руку на сердце, я действительно не отнес бы себя к любителям влажных пижам и в течение процедуры не раз задаю себе труд снять волглое и надеть сухое. Истинная причина моего нежеланья открыть опылителю носила характер порочной и относительно жгучей тайны.

Накануне, после того, как Оле, восклицая «брависсимо», удалился из ванной с ключом от шкатулки и я начал читать оставленную курьером газету, ко мне опять постучали. Застегнутый на сей раз несравненно подробней, я отворил безо всякой опаски. Впорхнула Жижки. Речь ее представляла собою легенду о траченном молью нижнем белье и сводилась к просьбе о разовом вспомоществовании на предмет обновления гардероба. Именно в ту минуту знакомился я с бельевым футурологическим обозрением и посоветовал массажистке не торопиться растрачивать наши казенные средства на быстро устаревающую одежду, а подождать обозримого будущего, когда мода внесет в нее новые коррективы. Тогда Жижки заявила, что я, вероятно, не понимаю серьезности ее затруднений, что она не желает в глазах клиентуры выглядеть оборванкой, и, задрвав на себе нечто среднее между ночной сорочкой и бальным платьем, принялась демонстрировать мне исподнее.

«Вот, право, докука», – подумал я. Но из вежливости коротко покосился. Действительно, и трусы, и чулки «перманентки», поддерживаемые резинками пояса, казались чем-то изъедены. Они были сетчатые, словно фасеточный глаз насекомого. Лифчик был испещрен отверстиями в равной мере. Видневшаяся сквозь них кожа производила впечатление слишком гладкой и матовой. Несмотря на свои сорок с лишним, массажистка смотрелась удручающе молодо и свежо. Тем не менее у некоторых членов правительства – особенно у геронтократов типа Пельше и Сулова – она пользовалась успехом и вызывала приливы творческих сил. Я пообещал, что поутру выдам ей денег из специального бельевого фонда, которым я заведовал по совместительству, и опять углубился в чтение. Увидев это, Жижки

начала упрекать меня в безразличии к ее обстоятельствам – профессиональным и личным – и, бурно расстроившись, вдруг открылась. Мол, с первого взора на злачном вокзале грезила она о неких взаимоотношениях со мною, не исключая, по ее выражению, даже близости.

Бедняжка Жиж! Могла ли она представить, насколько неоригинальны были поползновенья ее и как часто ее ровесницы и более молодые особы строили мне аналогичные куры, домогаясь хоть некоторого вниманья. Имя им – легион Похоти. Бравируя неглиже своей иступленности, они высказывали готовность на любое безумство ради удовлетворения этой слюнявой музыки. А ведь не все, далеко не все из них были, что называется, падшими. Наоборот, в большинстве своем они были весьма и весьма приличные, светские дамы из хороших семейств. Жены и дочери, невесты и невестки, племянницы и кузины министров, значительных дипломатов, всевозможных светил. И все-таки поразительным прахом шли усилия упомянутых женщин. Милые плаксы, неистовые воительницы, любвеобильные амазонки! Как безнадежно и непростительно юны представляли вы перед будущим Командором, сплошь да рядом подкарауливая его в укромных местах в уповании украсть поцелуй и вверить ему свои упругие прелести. Вы оказывали ему знаки внимания, а он как будто не замечал их. Искали встреч – уклонялся. Посылали записки – сжигал, не читая. Цветы? Оставлял подметальщицам, прачкам. Простите, но он не давал вам ни шанса.

«Голубушка, – не обинуюсь, но и по-прежнему не отрываясь от чтива, сказал я Жиж, – отчего вам рыдается? Что в моем отношении к вам заставило вас уповать на вероятность более тесных контактов? Неужто я, сам того не заметив, представил повод?»

«Ах, нет, – отвечала она. – Вы, наверное, ни при чем. Я вас, должно быть, придумала. Но! – пала она на колени и ухватилась руками за край моего плескалица, будто усматривала в нем залог своего спасения, – но к чему эта холодность, нелюбезность. И зачем вы все время читаете».

«Затем, дорогая моя, и к тому, что я навсегда взволнован другою», – расставил я точки над і, разумея, естественно, Ш. И хотел уже объявить графине об окончании аудиенции, как – довольно внезапно – пошла реклама колбасников. Извещения сопровождались изображениями наименований: сосисок, сарделек, колбас. Иллюстрации были такого характера, что распалили бы и цинических коллекционеров граффити, составителей аморальных уборных сборников. Слово б комплект балалаечных струн натянулся во мне при виде этих наглядных сальностей. Фантазия самого низменного полета разнузданно засучила лапками, и я в секунду вообразил, как некая опытная покупательница, придя домой с одним из таких наименований, тихо делит с ним скромный досуг.

Наделенный способностью к зрительным галлюцинациям, я увидел почти воочию, как женщина расстилает постель, задергивает занавес и разворачивает покупку. Вот она разворачивает ее. А вот уже развернула. Разоблачается и сама. На дворе, вероятно, декабрь, и на ней – поношенная кацавейка, несколько вязаных кофт, длинное, еще гимназического покроя, платье с оборками, ботинки или ботинки. И все перечисленное перештопано, периферийно, повытерто в очередях за пособиями, в склочной суতোлке толкучек, в омнибусной толкотне. И все это следовало бы подновить, а то и справить обновки, да много ли на пособие справишь, много ли обновишь. И все это надо – снять. Снять поспешно. В волнении. Предвкушая.

И ледащая, словно ист-эндка-лондонка, с неухоженными и по-отрочески большими ушами, с тощим личиком в обрамлении мелких крашенных завитков, с сухощавой чешуйчатой кожей предплечий, шеи, спины, серой ящеркой юркнула ты под темно-вишневою шаль. Тем не менее я и там, в полутьме, нахожу тебя, ясно вижу, пристрастным оком вкушаю от застарелого, сухопарого твоего греха. Воображая, будто противишься чьему-то насилию, ты сама же его и творишь. Ты..... (Здесь и далее многоточие заменяет мысли, оставленные автором при себе по рекомендации Комитета Самоцензуры, который он учредил при своем Опекунском Совете. – П. Д. ) Вернее, не ты, а – кто-то –

кто? кто это столь утонченно, угрюмо и яростно берedit твоe естество, вождедеет к запретному? Кто именно вознамерился обесчестить тебя, пожилую жеманницу, фифу, прельстительную недотрогу? А-а, может быть, это тот самый проезжий корнет, что ночевал в номерах, где служила ты в молодости кастеляншей. Снова – как некогда – вошел он к тебе без стука и, подбоченясь, надменно овладевает тобою – без заверений, без клятв, и назавтра – чуть свет – отъезжая в заброшенной грязию пролетке – даже не обернется. А может, это небезызвестный пройдоха, что дважды стоял у вас на квартире: сначала во дни твоего девичества и в качестве миловидного юного барина, а затем седовласым в чинах военным, когда ты уже овдовела, выдав замуж едва ли не пятерых дочерей. И оба раза, несмотря на сначала твои капризы, а затем – на свои ранения, делал то, что желал. Делал шумно, чинно и долго, словно догадывался, что и ты втайне хочешь, чтобы это никогда не кончалось. О, как жалобно он стонал! Наконец, далеко не ходя, то, быть может, просто колбасник, отвесивший тебе сегодня свой мясистый батон. Колбасники, мясники да лекари – все они одного поля ягода, все – дородные, ушлые, руки у всех волосатые, за ухом – карандаш. И не зря сей колбасник участливо так подмигнул из-за стойки: вот и нагрянул. Огромный, душно пропахший своим товаром, он засучивает рукава по локоть и, обнаруживая всю низость мужской натуры, безжалостно размежевывает тебе чресла. Кричать? Не услышат. И ты сама, торопливыми пальцами спялив скользкую кожицу с гуттаперчевой мякоти наименования, покорно влагаешь его оконечность туда, где все уж исполнено теплого влажного ожидания. А откуда-нибудь – например, из комода – тянет одеколоном, ладаном, и где-нибудь за стеной, у соседей, о чем-то безмерно своем сокрушается молодой Карузо.

Став невольным свидетелем описанного грехопадения, я испытал два чувства: сочувствия и соучастия. Они смешались, вступили в противоборство. Жалость к попранной не могла, однако, притупить моего желания довести предпринятое до конца; тем паче что поставив себя на место несчастной, я понял: не довести – значило бы унижить ее совсем, оскорбить еще более изошренно. Вместе с тем, ревнивое и чуткое присутствие массажистки затруднило бы воплощение плана в жизнь, а отправка Жижы во вне, церемония завершения аудиенции потребовала бы соблюдения минимального этикета, какого-то диалога, и такие церемониальности могли бы не только ослабить порыв соучастия, но и свести последний на нет. Эта пиковая ситуация подвигла меня на беспрецедентный в моей биографии компромисс с моралью. "Да, я взволнован другою, – сказал я просительнице. – Но если угодно – allez-у (Давайте (франц.)) ". Повторять приглашение не пришлось. Не раздеваясь, она вступила в плескалице и уселась мне на колени так, что если бы нас не разделяло «Албанское Танго», то мы сидели бы vis-a-vis. Бельгийка вознамерилась было извлечь издание из рук дерзающего лица, но то заверило, что газета нисколько не помешает, и попросило ее заниматься непосредственно тем, ради чего она уже так подмочила себе и платье, и репутацию.

Желая сделать мне местный массаж, графиня стала на ощупь, под грязью, изыскивать доступ к моим святыням, но пальцы ее заблудились в застегках и пуговицах пижамо и безвольно повисли какими-то щупальцами. Я поспешил на выручку. Отложив газету на канаве, я привычным рядом приемов высвободил – раскрепостил из-под гнета материи то, чем мы с такой методичностью услаждаем женщину, реже – мужчину, а в клинических случаях – четвероногого друга. Услаждаем, а вместе и унижаем. Поэтому несмотря на всю выслугу лет, верноподданность, стойкость и другие бойцовские качества оно не составило себе настоящего, доброго имени, не выстрадало его. Вынужденное вести неявный, сумрачный образ жизни, издавна оно обзывалось кличками, исстари поминалось всуе. Но деликатность – по крайней мере вербальная – оставила, к счастью, не всех нам подобных. К примеру, неистовая Мажорет, при всей своей половой распущенности, ни в речи, ни на письме не признавала ничего, кроме интернационального реченья зизи (курсив мой. – П. Д. ), уникального в том отношении, что в нем нету ни тени вульгарности. Благозвучное ветровым колокольчикам, оно не осквернит и младенческих уст, и при желании им можно

именовать гениталии и джентльменов, и дам; двусмысленное, оно изумительно куртуазно. Позаимствуем же его.

Веретенообразное, как «Наутилус», мое зизи проникло в подводный грот госпожи Брикабракковой, легко прошив эфемерные водоросли ее белья, и чтобы не зреть отвратительных корчей, гримас, не слышать ее фарисейской мольбы о пощаде, я снова загородился от этого мелодраматического персонажа этрусским еженедельником и поудобней откинулся в моем надувном вместилище. И меж тем как графиня визжала и плакала, елозила и ходила винтом, я все более углублялся в колбасные разновидности, дллил порыв соучастия и служил у моей периферийной вдовы то корнетом, то генералом, то мясником. Поочередно и вкупе. А после снова поставил себя на ее место и больше уже сочувствуя, нежели соучаствуя, подвергся унижению сам – мясником, корнетом и генералом; а также самим собой. Причем это, последнее, из всех безумств было, пожалуй, изысканнейшим.

Доводить предприятие до кульминации и развязки пока не хотелось, и чтобы слегка ослабить порыв, я перешел от колбас к «всякой всячине» и некрологам. Доглатывая некролог по Лаврентию, я ощутил, что за дверью кто-то стоит. Вернее, не кто-то, а Брикабракков, и, если Вы помните, вступил с ним в переговоры. «Брикабракков! – вскричал я ему, – Я знаю, что вы опять стоите за дверью!»

Успели ли Вы обратить внимание, что я абсолютно не поинтересовался судьбой энной суммы, которую он якобы собирался изъять из моей шкатулки. Дескать, ну что, Брикабракков, изъяли? – позволительно и логично было б спросить у графа, когда тот подсовывал ключ. Логично, то есть по Вашей логике, по разумению стороннего наблюдателя, понятия не имеющего об условиях существования в закрытом кремлевском обществе, где формальная логика не в чести и подвергается остракизму. В наших сферах, милейший, играли по большей части в другие игры, кипели другие страсти, нежели в Ваших. А значит, и правил придерживались других. Так, Брикабракков был наперед уверен, что ключ, который я накануне вечером отстегнул от монисто и подал ему, чтобы он отомкнул им шкатулку, – шкатулку не отомкнет. Граф знал, что монисто носит чисто декоративный характер и набрано из ключей фальшивых, которые не подходят ни к одному на свете замку. То были, в сущности, не ключи, а ключевые болванки, какие Вы видите в скобяном ателье, у ключника: заготовки без желобков и зазубрин, железные *tabulae gasae*, коим лишь предстоит стать ключами в итоге слесарных манипуляций. (Настоящие ключи хранились мною в особом месте.) А я, в свою очередь, был уверен, что Брикабраккову вовсе не нужно денег, что история с проигрышем в покер есть блеф, и что просьба об одолжении их – лишь предлог навестить меня в процедурной. Зачем навестить, однако? Чтобы наговорить всяких колкостей, язвительных сплетен? Выведать мои настроения? Взгляды? Узнать, чем я тут занимаюсь? А затем доложить по команде и выслужиться? Казалось, на сей раз визит опылителя продиктован был соображениями иными, возможно, и не его собственными. Но – чьими? Какими? Это было загадочно. И я притворился на всякий случай, будто поверил в его историю, внял шантажу, согласился дать денег. А он сделал вид, что поверил в мое согласие, в функциональность ключа, и направился якобы отпирать им шкатулку, отчетливо сознавая, что та – тоже является фикцией – чистой условностью – сном моего филигранного разума.

Словом, мы оба лгали и изворачивались, тщась уверить друг друга, что верим друг другу, и каждый знал, что не верит тут ни единому слову: ни своему, ни партнера. Мы играли в порочную круговую поруку завязтых лукавцев, лжецов, в типичные словесные поддавки, некогда столь популярные там, где я появился на свет, жил и – буду, и буду, запав в сознание трехсот семидесяти миллионов сограждан. Игра завораживала, пленяла. И если я не поинтересовался у графа, изъял ли он энную сумму, то лишь потому, что, прочтя некролог Лаврентия, стало не до забав. Я ведь сделался опечален. «Эх, дядя, дядя, – мыслилось мне, – сколько решительных мер ты мог бы еще принять на благо отечества».

Но если я снова пытался ввести Оле в известное заблуждение, то вовсе не по соображениям траура, не затем, что желал бы остаться в те горестные минуты один. Впустить Брикабракова в ванную комнату просто не виделось мне резонным, ибо здесь уже находился один представитель этой весьма обедневшей, но все еще знатной фамилии. «Телефонируйте, – бормочу я Оле. – Разузнайте, не нужно ли вывесить флагов печали. И если нужно, то выясните, ради Бога, что с ними случилось, а то я в последние сроки их не усматриваю, не наблюдаю. Уж не побила ли моль. Бархат все-таки, креп, материя».

«А почему бы вам самому не телефонировать?» – снадменничал Брикабраков, меж тем как супруга его беззвучно юлила и сотрясалась, будто пронзенная дичь. Мыльная пена в плескалице давно опала, и на поверхности грязи интерферировала мельчайшая рябь экстатического озноба.

«Да видите ли, – возражал я Оле, – процедура, купаюсь, не хочется прерывать. И потом, вы же знаете, экий я увалень: у меня и мизинец в те дырочки не влезает».

«В какие?»

«На телефонном диске».

«А карандаш? – спросил Брикабраков. – Попробуйте карандашом».

«Подобное, – рек я графу, – мне глубоко претит, ибо отзывается извращением».

«Миль пардон, – отвечал Оле, – миль пардон».

Между тем ситуация становилась критической. Массажистка была близка к тому кратковременному, но буйному помешательству, которое наступает у дамы в минуту запредельного возбуждения, когда она по существу собой не владеет и самовыражается исключительно шумно. И мне представлялось, что если до той минуты я не успею откомандировать Оле на достаточное расстояние, он – несмотря на пробковую облицовку стен – все услышит и все услышанное истолкует превратно.

Я не успел. Казалось, где-то неподалеку прорвало кингстоны. Жижи забубнила, заквакала, заклокотала, и зизи мое сверху донизу обдала волна тепловатой, утробной слякоти. Мельком взглянул я на массажистку через прореху в газетном листе: сейчас, в апогее чувственности, графиня смотрелась на редкость непрезентабельно. В частности, очи ее закатывались за горизонты век, как в падучей.

«Палисандр! Не кощунствуйте. У нас сегодня, быть может, день скорби, а вы опять мастурбируете, – истолковал услышанное Оле. – Я сообщу Лаврентию».

На что я воскликнул: «Не кощунствуйте сами! Ибо если мы и скорбим сегодня, то именно по Лаврентию Павловичу». Сказав так, я рассмеялся смехом леонкавалловского паяца – смехом тамтама и бубна, переходящим в рыдание виолончелей, скрипок, виол.

«Возможно ль! – вскричал Брикабраков. – Не Берия ли собирался быть нынче у нас с инспекцией!»

Тут зазвенели бубенчики, и на подворье въехали правительственные экипажи. В тот час у ворот суетились пильщики. Они рубили так называемые дрова, и сидевшие в экипажах могли наблюдать, как на пилах и топорах разгорается новое утро.

Я скомкал формальности, завершил предприятие и выпроводил графиню через запасный выход. Грязь струилась с Жижи каскадом, и, глотая слезы глубокого удовлетворения, вся она глядела пожатканно, как пижама. Мы простились.

В конце коридора слышались голоса, шаги, и часть из них несомненно принадлежала Андропову. Отличнейший гитарист, детство свое претерпел он в Мордовии, в юности пел и плясал в цыганском хоре особого назначения, знался с Вертинским, Лещенко, был на короткой ноге с Шаляпиным, Верой Холодной, Айседорой Дункан, был неудачно женат на сестре абстракциониста Кандинского, а после ее ухода к архитектору Корбюзье выдвинулся по протекции Полины Молотовой (Жемчужиной) в ординарцы моего дедоватого дяди.

Да и вообще из мира сценического искусства, с эстрады в Кремль шагнуло немало ярких, истинных дарований. Начиная с канкана выученица Петипа тетя Катя Фурцева; известным у себя на Урале канатоходцем и вольтижером был когда-то Яков Свердлов;

Анастас Микоян устраивал публичные спиритические сеансы; а Жданов работал маркером в игорных домах Мариуполя.

«Ба! Дядя Юра! Какими ветрами!» – приветствую утром одиннадцатого февраля полковника Юрия Владимировича Андропова, взошедшего ко мне в процедурную. Мы обласкались.

«А я к тебе с грустным известием», – просто сказал Андропов.

«Не надо, – еще проще звучал мой ответ. – Я знаю».

«Тем лучше. Тогда я хотел бы потолковать с тобой о другом. Конфиденциально. Есть дело государственной важности. Чрезвычайно келейное. Речь идет о коренных преобразованиях».

«Нишкните! – черкнул я Андропову огрызком симпатического карандаша на поле „Албанского Танго“. – Здесь всюду крутится Брикабраков. Давайте-ка лучше умчимся».

«Куда?» – отписал полковник.

Несмотря на цыганское его прошлое, артистические заслуги, знаки отличия, ордена и медали, внешность дядюшкина ординарца была почти ординарна. Неброскость его, однако, сполна окупалась летящим – словно бы к «Яру» (Эмский ресторан цыганского пошиба) – почерком. В нем прочитывались и какое-то удалство, и какая-то глубоко потаенная лихость, и какое-то даже ухарство, выгодно сочетавшееся с предельною скромностью. (Графология стала моей любимой наукой еще в стенах КРУБС. Курс ее – по совместительству с остальными обязанностями – вел Хрущев, полноватый такой господин с залысынами, впоследствии тоже мемуарист. Главное его качество как педагога была задумчивость. Как-то раз по дороге на кладбище я спрашиваю его: «Дядя Ника, вы почерк мой разбирали когда-нибудь?» «Почерк?» – переспросил Хрущев и надолго задумался.)

«Для обсуждения дел государственной важности, милейший Юрий Владимирович, – писал я ему, – места укромнее Сандуновских бань я не знаю».

Мелькнул искаженный зевотой лик отца-привратника Никона. Возник и исчез Тимирязев, преобразованный в бронзу селекционер. Шагнул и канул психопатический Маяковский. Ни за грош пропали заядлые дуэлянты Пушкин и Лермонтов. Сгнули где-то за рубежом первоклассные публицисты Герцен и Огарев. И проскакал Долгорукий. Весь град, повитый поземкой, мелькнул и пропал, накренившись, словно бы каменный исполинский стриж. И вот уже воздымаясь по мраморной сандуновской лестнице, мы воздымались по ней. Нам навстречу заблаговременная охрана гнала взащей панургово стадо недопаренной шушеры. Шушера на ходу огрызалась и разглагольствовала о каких-то правах человека. Узнав нас, гонимые почтительно побледнели и сняли шапки.

«Распустился народ, разбаловался», – элегически-огорченно отметил Андропов.

«Образованщина несчастная», – добавил я.

Нахлеставшись, – причем полковник из солидарности тоже не снял нательное – мы спустились к бассейну, причудливо отделанному яшмой и бирюзой. К датскому элю имбирному нам предложили омаров, к шампанскому – устриц, к мортелю – икры. В преискуранте имелась и вобла вяленая, но мы отклонили.

«Докладывайте», – по-военному бросил я после небольшого заплыва.

«Во-первых, поздравь: я – новоизбранный Председатель Совета Опекуну твоих».

«Поздравляю. Только не зазнавайтесь, пожалуйста».

«Постараюсь. А во-вторых, как ты знаешь не хуже меня, настоящей страной фактически правят определенные силы, штаб-ложа которых находится где-то вовне, за „занавесом“».

Я кивнул величаво.

«В силу неких причин, – говорил Андропов, – они стяжали в своих руках непомерную власть, и мы, законное русское руководство, только выполняем их волю. Мы номинальны».

Это я тоже знал. Но врожденная вежливость не позволяла мне попросить полковника быть ближе к сути.

«Даже Иосиф не мог изменить ситуацию,— витийствовал Юрий.— Сам Иосиф! Они не уважают меня, кричал он на заседаниях. Что мне проку в этих сусальных погонах, если моя страна подневольна, если мы все — вассалы! Его, как могли, утешали, а некоторые и поддерживали. Среди них был твой дядя. Вокруг него сложилась плеяда патриотически мыслящих. Родилась идея публично раскрыть свои зарубежные связи, саморазоблачиться перед народом, воззвать к нему за поддержкой. К нему и к армии. А если потребуется, то и к Китаю, к Америке, ко всем людям доброй воли. Но смерть Иосифа смешала все карты. Маленков с Ворошиловым трусили, отреклись. Дрогнул и Жуков. Плеяда распалась. Лаврентий остался один, без авторитетной поддержки. Оппозиционеры стали травить его: улюлюкали, издевались. И вот результат. Изверги. Такого часовщика погубили. А сейчас — ты знаешь, что они собираются сделать сейчас?»

«Что?»

«Они собираются сделать вид, будто это не самоубийство, а справедливый расстрел. То есть — посмертно приговорить его к высшей мере за попытку государственного переворота. И — сделают, приговорят, ещё не такое делали. Вот увидишь».

«Да ведь уже циркулирует сообщение о самоубийстве».

«Где? На Западе? Запад им не указ. Им указ — лишь определенные силы, которые требуют от Кремля упорядочения беспорядков. А упорядочить беспорядки можно только путем запрещенья общественного мышления, последних известий, известных свобод. Я говорю, вероятно, неточно и путано,— волновался полковник,— но ты понимаешь, о чем я, в принципе, говорю».

«Не сомневайтесь,— звучал мой ответ.— И располагайте мною всемерно. Правда, я тут как раз наметил отъезд за границу, так что даже не знаю, на чем мы сойдемся. Чем, собственно, мог бы я вам служить в Бельведере?»

«Где?» — якобы поперхнулся Андропов.

«Не морочьте мне голову,— резко отреагировал я.— Это ведь вы подослали ко мне курьера с „Албанским Танго“».

«Пожалуй,— сознался полковник, чтобы тут же солгать.— Понимаешь ли, мы хотели тебя уведомить о состоянии дел Лаврентия. Вернее, о собственном его состоянии. Имелось в виду информировать как-то исподволь, вскользь. Зная твою ранимость, склоняешься к всевозможной чуткости».

«Благодарствуйте. Однако же милосердие ваше зиждется в данном случае на чем-то ином.— Я предельно напряг умозрение и в сумеречном пространстве какого-то незнакомого мне кабинета рассмотрел очертания некой изящной перегородки складного толка.— А, понимаю. Выражаясь пикантно, милосердие ваше — лишь ширма, не правда ли?» Чтобы не выдать смятенья, полковник жевал омар и только отмыкивался.

«Подбрасывая путем Брикабракова упомянутую газету, Юрий Владимирович (В детстве я не выговаривал В и в память о том периоде произносил отчество Андропова через Г) , вы рассчитывали увлечь меня грезой о Бельведере, соблазнить сироту эфемерной возможностью счастья возле семейного очага, чтобы затем — посредством инсинуаций — оттягивая, к примеру, выдачу подорожной — вить из юноши требующиеся веревки, вынуждать его, то есть, к сотрудничеству, склонять к услугам. И в этой мизерной интриге вы все, словно в капле. Ибо вместо того, чтобы честно и смело играть по-крупному, вы суете мелкие взятки. Да разве так спасают Россию!»

Андропов кашлянул.

«О нет, соблазнами ее не спасти,— продолжал я ему.— Ни соблазнами, ни подачками, ни искушением граждан. Не искушайте, полковник! Не лучше ли, не достойней ли сразу, начистоту — дескать, так, мол, и так, не желаете ли задание — или что там у вас — выкладываете».

«Ну что ж,— молвил он,— в пронизательности тебе не откажешь. Так слушай. Третьего дня без шестнадцати девять настало безвременье — время дерзать и творить. Мы, келейная партия часовщиков, постановили отметить ренегатам за смерть Лаврентия Берии, нашего

поруганного секретаря. Но это – только программа минимум. Максимум же – восстановить наконец все попорченные вольготы, восставить их во главу угла, а самим встать на страже новейших веяний».

«Изъяснитесь определенной», – ободрил я.

«Мы – за полную и окончательную справедливость, за суверенитет, – нервно дышал Андропов. – Мы – против определенных сил, узурпировавших нашу власть. Мы хотим, чтоб отчизна пошла другим историко-эволюционным маршрутом. Да-да, именно эволюционным. Страна так устала от переворотов, скачков, что о них не может быть речи. Хотя отдельных актов террора, естественно, не избежать. И тогда! – закричал полковник, – тогда нам потребуются молодые, но трезвые сорвиголовы, почитающие за счастье погибнуть во имя всеобщего блага. Герои! Солдаты истории! Да читал ли ты, братец, Бакунина?»

«Михаил Александровича? Да кто же его не читал».

«Вот это фигура! – задохнулся Андропов. – Ты помнишь, как он там сформулировал, сукин кот, как сжато: разрушение есть созидание. Сказал – как отрезал. Вбил гвоздь. Вколошматил по самое некуда. Диалектика, Палисандр, какая-то эклектическая, всепожирающая перистальтика духа! Только много ли их, бакуниных да кропоткиных? – И сам ответил: – Чертовски, дьявольски мало».

«Вы напрасно так кипятитесь, полковник. Я лично – к вашим услугам».

Тот вскинул голову. Словно любуясь ими, взглянул мне в глаза. И чтобы он не подумал, будто я отвожу их, я вынужден был содвинуть их к переносице.

«Значит, я не ошибся в тебе, – притопнул Юрий, и мне показалось, что он вот-вот босоного, как в таборном детстве, сорвется в „цыганочку“. – Так, именно так и держать, дорогой. Будь достоин, что говорится, отцов и дедов, верных сынов нашей славной организации. Будь готов быть последователем, наследником их невоплощенных еще, понимаешь, идей. Будь лучшим, талантливейшим представителем нашей часовщицкой молодежи. И да благословит тебя Хронос».

«Эх, дядя Юра, какой вы, право, зануда. Неужто нельзя без высокопарностей. Давайте хоть нынче, в связи с великой кончиной, побудем людьми не слова, но дела. Долой, извините за прямоту, экивоки. Рискните ва-банк, а? Ведь скуплю».

Лицо полковника подобралось, возмужало, и он возражал в том смысле, что – да, что они надеялись, что предложение этрусков заинтересует меня, ибо им нужен свой человек в Бельведере, локальной – в Мулен де Сен Лу, где как раз и живет пожилая пара, и, дескать, есть сведения, что Милки-уэй, кольцевая проселочная дорога, петлей захлестнувшая это поместье, ведет – говоря, разумеется, образно – в ставку определенных сил, крестословов Высокого Альдебарана.

«Наша цель двуедина, – сказал Андропов. – Российским часовщикам пора уже посчитаться с этими господами. А лично тебе хорошо бы остепениться, обзавестись семьей. Словом – едешь?»

«Еду, еду, Юрий Владимирович, лечу – весь крылья. Только бы рекомендаций достать».

«Рекомендации мы берем на себя. Их подпишут виднейшие монархисты подполья типа Кутепова и Шульгина».

«Отчего монархисты, милостивый государь?»

«Оттого, сударь мой, – возражал полковник, картинно откидываясь в лонгшезе, – оттого, что девическая фамилия особы, которая скоро увнучит вас, в чем я нимало не сомневаюсь, поелику келейные переговоры с нею по поводу вас, нашей первоочередной креатуры, прошли отменно, фамилия эта, сударь, имеет основательное касательство к отставленному российскому трону». Впервые он обращался ко мне на «вы».

Я риторически выгнул надбровные дуги.

«Да-да, – риторически улыбнулся Андропов. – Ваша будущая бабуля не кто иная, как Великая Княгиня Анастасия».

«Недурно. А кто ж дедуля?»

«Супруг Княгини в салонах теперь не блещет, прихварывает. Тем не менее имя его вам должно быть знакомо: барон Чавчавадзе-Оглы».

«Как же, как же, старый, можно сказать, знакомый».

«То есть?»

«Он загляделся на шпиц Петропавловки, помните?»

«А, мемуары Оползнева! Забавный опус. А знаете ли, отчего барон загляделся на этот шпиц? Имеются данные, что Сигизмунд Спиридонович страдает так называемой острофобией».

«Тоже?»

«Не путайте. У вас астрофобия, неприязнь к звездам».

«Была, дядя Юра, была. Вы даже не представляете, насколько я выздоровел, поздоровел. Трудно поверить: вот мы ехали утром в кибитке, и я смотрел на ваши погоны без всякого страха. А прежде, в бытность ребенком, опекуны навещали меня исключительно в штатском – чтоб не травмировать. Но я был классический астрофобик, и дурнее всего мне делалось от ночного ясного неба. При взгляде в него меня начинало мутить, разрывали внутренние противоречия, мучили газы. Ах, что за чудесник этот дядя Андрюша: практически исцелил. Вы знаете, как он пошел нынче в гору?»

«Я слышал, вы за него хлопотали».

«У-у, пустяки. Я просто выдвинул его в Академию и предложил назвать мой недуг его именем: комплекс Снежневского. Вы не против?»

«Звучит неплохо».

«А Сигизмунд Спиридонович, стало быть, острофобик? Он что же – трепещет острых предметов?»

«По преимуществу колющих. Говорят, его батюшка погиб на колу».

«Любопытно».

«Впрочем, это не просто трепет. Он смешан с восторгом, зане отца своего барон ненавидел».

«Ах вот как. Я вижу, нам будет о чем побеседовать с дедушкой на досуге: болезнь есть болезнь, как ты ее ни зови».

«За успех предприятия!» – поднял Юрий фужер.

Мы чокнулись и пригубили. Было приятно. Я чувствовал, что мысль моя заостряется.

«Погодите, но если она урожденная Романова, а он – Чавчавадзе, да еще и Оглы, то, – дошло до меня, – то какие ж они этрусски?»

«Только постольку поскольку», – глотнул из бокала полковник.

«Поскольку?»

«Поскольку в Европе этрусские корни и паспорта теперь очень в моде. Отсюда и цены на всякое ископаемое барахло: брикабрак, антик. И считаться этрусским дворянством гораздо почетней, чем русским. Вот они и считаются».

«А, значит, свои! – вскричал я обрадованно. – Ну, так я им по-свойски и отпишу – по-русски, чтоб не мудрить. Вернусь в обитель – и набросаю».

«Не торопитесь, – промолвил Юрий. – В узилище набросаете».

«Виноват?»

«В равелине», – синонимизировал часовщик, вздымая со дна моей безмятежности муть беспокойства.

Я посмотрел на полковника исподлобья. Беспечно он предавался банному ничегонеделанию. Глаза офицера спокойно глядели то синими сциллами, то голубыми барвинками, то лиловыми крокусами: в ту пору, попав под влияние Руссо, я уже приступаю гербаризировать.

Переоценить значение этого просветителя в свете его влияния на развитие ботанических чувств – вообще затруднительно. Стоило ему в сердечной связи упомянуть в своей «Исповеди» цветок *taraxacum officinale* – и публика просто ринулась в окрестные тюльри. Полюбоваться им заспешили клошар и гризетка, матрос и прачка, барышня и шевалье:

всем хотелось пустить по ветру летучий галантный пух. Вскоре, прозванный в честь своего певца жан-жаком, одуванчик становится эмблемой ВАМ – Всемирной Ассоциации Мемуаристов. Ежевечно съезжаясь в Женеве, они проходят перед трибунами ипподрома своими сутулыми, благородно лысеющими легионами, украсив петлицы цветком просвещенной искренности. Звучит менюэт.

«В каком равелине?» – спросил я Андропова единственно уголками губ.

«Это не архиважно, – ответил полковник. – Думаю, впрочем, что Петропавловский – или как его там: Алексеевский, что ли? – вас навряд ли устроит. Мрачновато там, сыровато, казематы проветриваются нерегулярно, провизия скверная, часто с душком, интендант приворовывает. Короче – не посоветую. То ли дело кремлевская наша тюрьма, что в Архангельском: любо-дорого».

«Помилуйте, Юрий Владимирович, не мы ли минуту тому толковали касательно замка Мулен де Сен Лу, что как раз в Бельведере. Вы непоследовательны».

«Владеете ль вы оружием?»

«По преимуществу прободающим. Помните некую Долорес Ибаррури? Она занималась со мной испанским, а попутно и фехтованием».

«Ибаррури? Которая жила в Водовзводной башне?»

«Не путайте, в Водовзводной жила Клара Цеткин, преподаватель немецкого, тоже, кстати, большая моя приятельница. А Ибаррури жила в Москворецкой. О, каким только фокусам не обучила меня сеньора Долорес! Ведь в той науке – пропасть всяких позиций способов, так сказать, прободанья, финтов. Слава Богу, испанка была уж не первой свежести, так что чего-чего, а опыта ей было не занимать».

«Вы не поняли, – сухо проговорил Андропов. – Я спрашиваю об оружии огнестрельном».

«Что ж, монтекристо я не чураюсь. Да и на охоте малый не промах: бью влет».

«Похвально. Только на сей раз придется прибегнуть к боевому калибру. Есть мнение, что пора устранить со сцены одно слишком действующее лицо».

Прямота дяди Юры располагала к отваге, и я заявил, что, конечно, готов пострадать за правую часовщицкую идею, однако позволил себе усомниться в резонности собственной кандидатуры. «Почему вы решили задействовать на этот предмет меня, окрыленного чемоданными настроениями? Разве нет на примете менее занятых единомышленников? Доцените и то обстоятельство, что если меня ненароком сгноят в застенке, то в Бельведере, наверное, огорчатся. Не знаю, как вы, а я не желал бы разочаровывать вероятных родственников».

Юрий Владимирович улыбнулся: «Во-первых, мы постараемся, чтобы вас не сгноили. А во-вторых, когда наш человек уезжает в послание, ему в первую голову следует обзавестись порядочным реноме. Иначе он – персона нон грата и ни в какие внуки не гожд».

«Позвольте, но у меня такая генеалогия!»

«На голой генеалогии далеко не уедешь, – заметил полковник, расхаживая у самой воды. Очки его запотели, и он различал меня смутно, однако, увлекшись беседой, смотрел на помеху сквозь пальцы. – Настоящее реноме обеспечивается громким процессом, предосудительными деяниями, скандалом в прессе. Бросьте взгляд на картину нашего Зарубежья. Кто выехал тихой сапой, сам по себе, без нашей поддержки, тот сам по себе, тихой сапой там и живет, перебивается на подачках. А подопечные наши, то есть те люди, кому мы способствовали, создавали рекламу, оказывали достойное преследование, – они в послании благоденствуют. Иные даже в пророки выбились, рассуждают. И все что-то пишут, пишут, печатают. Жестокий, все-таки, это недуг – графомания».

«Не говорите, – посетовал я, – так и косит».

Мы выпили сельтерской, закусили. Затем воспоследовали водные процедуры, в ходе которых стороны пришли к обоюдовыгодному соглашению: во имя настоящего реноме путь мой в послание ляжет через террор и острог. Причем с моей стороны промелькнула немаловажная нотабена, что мне недосуг засиживаться. И поставлено было условие: «В

какой бы острог вы ни выписали мне путевку,— сказал я Андропову,— позаботьтесь о персональной ванне. Другие удобства меня практически не волнуют. Я ведь неприхотлив до смешного»,— сказал я ему. И добавил, печально шутя: «До смешного сквозь слезы».

«Ванна будет»,— сказал полковник и произвел часовщический клятвенный пасс — знак тайны и скромной твердости.

После чего приступили к деталям.

«Итак,— молвил давно знакомый вам я,— вы хлопчете об аннигиляции какого-то лишнего деятеля».

«Государственного»,— уточнил Андропов.

«Хм, кто бы это мог быть? Просто теряюсь в догадках. Да знаю ли я обреченного?»

«Даже очень».

«Тогда разрешите мне угадать».

«Угадывайте»,— сказал качающийся в своем вольтеровском кресле-качалке Председатель Совета Опекунов моих, или, как я скаламбурил бы по-английски, my rocking-chairman.

«Ягода».

«А вот и не угадали. Ягода уже на отдыхе».

«Маленков».

«Промашка. Он тоже теперь в удалении».

«Георгадзе!» — одушевленно воскликнул я, увлекаясь.

«Мимо!» — сказал и в подражание пуле присвистнул полковник.

«Тихонов!»

«Перелет! — возражал Андропов, и сам входя в ажитацию.— Не та фигура».

Перечислив в запальчивости чуть ли не все кремлевское руководство, я сдался.

«Б»,— подсказал мне А.

Не берусь изложить весь сумбур обуявших меня в ту минуту душевных протуберанцев. Во всяком случае освежительная бассейная зала вдруг показалась удушливей душегубки, и я заспешил в направленьи окна в побужденье открыть фрамугу.

Урбанизм разверзавшегося из окна пейзажа предстал кромешен. Дворовая свалка банно-прачечного заведения, загроможденная грудями бросовых ржавых шаек, стиральных досок и мыльниц, смыкалась со складскими задворками какого-то воздуходушного предприятия, заваленными в свою очередь приспособлениями для нагнетания и отсасывания газообразных веществ. Гудок данной фабрики, поминутно выдавливаемый кем-то из горла ее сифонообразной трубы, отзывался сухой омерзительной фистулой сифилитика. Между тем где-то сбоку, умело используя курослеп предвечерья, печально набычась, вдоль вывески «Магазин мужского и женского верхнего и нижнего готового и не вполне готового платья» крался куда-то нечистый проулочек.

«Вам не надует?» — не оборачиваясь смашинальничало дерзающее лицо.

«Навряд ли,— сказал Андропов.— Я надену чепец».

Лицо потянуло веревку: фрамуга с грохотом отвалилась. Ранние эмские сумерки хлынули в зало.

Народ, проходивший в тот час проулком, был большей частью народ-весовщик, кладовщик, конторщик. Шагал там народ-проходимец, пройдоха. Шел народ-забулдыга, народ-инвалид.

Шел ветер.

Всмотревшись, мне сделалось по преимуществу больно: «Россия, родная, когда же придет настоящий день твой! Доколе, терзаема неотесанным мужичьем, ты будешь влачить крест своей незлобивости и долготерпения. Чрез непогоды. Печально набычась. Брось!» И взволнованная моя голова патетически заторчала из форточки. Там, снаружи, вступала в свои непосредственные обязанности весна. Она вступала в юродивую городскую природу, как боль в поясницу: внезапно — и словно бы навсегда. Шел, как я указывал выше, ветер. Растения в палисадниках, оголтев, шумели, как оглашенные. Описание припустившего вскоре косога дождя с предварительным кособреющим летом ласточек, почитающихся в

столовой Сената лучшим лакомством наряду с вампирами-табака, могло бы занять до полутора рукописных страниц. Однако мой кожаного переплета с ляпис-лазуревыми вкраплениями, тиснениями и застежками фолиант, куда я своей сухожилистой и без каких бы то ни было украшений рукой ригориста заново настоящие поверительные наброски, увы, представляет собою гроссбух в откровенно прямую клетку, а не в косую линейку для прописей. Отчего опускаем описание именованного дождя как неписывающееся. И подставив под струи его париком окудрявленное чело – «Вы надели чепец?» – озаботился я о Юрии, стараясь перекричать шум стихии. Привычка к резким температурным сменам, которыми я по рассеянности муштровал организм, давала все основания полагать, что простуда меня не коснется. Но за Андропова было не по себе. Несравненно моложе его годами, я испытывал по отношению к опекуну беспокойство ответственности, свойственное многим потенциальным родителям. Своей непрактичностью в бытовых вопросах, физической неуклюжестью и наивностью в сфере абстрактных тем он вызывал во мне это чувство систематически.

Совершенно иным человеком предстает в моей памяти другой ветеран часовщицкой организации – тот, кому по соображениям товарищей предстояло пасть от руки, составляющей данные строки.

Леонид Ильич Брежнев! Местоблюститель! Как, все же, в свои за семьдесят бывал он подиккенсовски остроумен, по-чаплински находчив и бодр.

Возвратившись с охоты в Кремль и стягивая с себя в передней зеленые болотные сапоги, чтоб обуть расшитые мелким бисером шлепанцы, Леонид полагал, что на сей-то раз то была несомненно последняя вылазка на природу. Пора и на угомон, ведь уже не мальчишка. В его лета Черчилль с Рузвельтом едва ли даже вставали с дивана. А ему б, Леониду, все баловаться: пороша да листопад, иней первых утренников и туманы последних, покашливание егерей и покрякиванье воронья, быстрый пролет живой и грузные гроздья набитой дичи – зачем бы это ему, неглупому и ответственному работнику, солидному семьянину. Забросить. Забыть.

Но миновала неделя, другая, максимум третья, и Леонид начинал не находить себе места: в Кремле ли, на выставке, на премьере ль в Большом. Раздумья, казалось, больше не увлекали его, и прием в честь очередного арабского «чурки» исключительно тяготил. Сославшись на нездоровье, Б. оставлял церемонию: шел на псарню и на конюшню, шутил с псарями, с конюшими, подолгу гладил животных.

Путь его нет-нет да лежал и в отдел охотничьих ружей Оружейной Палаты, где засидевшийся допоздна Устинов, дядька нашего ремесленного училища, а в будущем – марсовых дел министр, был рад показать ему образцы старинных дробовиков и мушкетов – как в собранном, так и в разобранном виде. Шло время. На Спасской било двенадцать, час, два, полтретьего, а они все сидели там, разбирая и собирая и путаясь в чертежах: член правительства, Местоблюститель, герой войны – и обычный мастер, Устинов Николай Дмитриевич, скромный, кряжистый и в бухгалтерских нарукавниках человек.

И снова проходили недели, и Леониду становилось понятно, что неприкаянность его нисколько не уменьшается, а возрастает. И причина ее – охота. Как-то там, без него, на тяге, на гоне? Благоприятствует ли погода? Хватает ли дробы да пороху, пороху да тенет, тенет да чучел, чучел да разных ошейников, ошейников да манков. Излюбленное Новодевичье манило и бередило Брежнева, и мысли его на собраниях мешались о речами. И наступали моменты, когда противиться застарелой страсти делалось по-мальчишески неумолимо и нелепо. Тогда Леонид подходил к шифоньеру – распахивал инкрустированные сердоликом и костью резные створки – доставал амуницию. И если ягдташ его был немецкий, из патриархального Марбурга, то патронташ подарил Леониду давнишний приятель Урхо, заядлый тоже охотник, державший на вилле под Гельсингфорсом перворазрядную сауну. По обычаю прадедов, хозяева паривали там гостей в компании с белобрысыми дамами из числа своих секретарш. Не всякий, впервые гостивший в стране

Урхо Кекконена, знаком был с этим обычаем. Не подозревал о нем и лауреат крепостного конкурса блиц-поэтов Брежнев.

Загнав на закате большого оленя, участники благополучно вернулись на виллу, и уже пали сумерки, когда им в гостиную подали темный, как кофе, туборг.

«Попаримся?»—обронил нестареющий лыжник Урхо.

«Распорядись, коль не лень,— рассудительно отвечал Леонид.— Только веники есть ли?»

«Веники?» – не понял премьер.

«Веники»,— перевел на финский наш консул.

«Ах, веники! – аккуратно расхохотался Кекконен.— Да у нас кое-что похлеще имеется»,— объяснял хозяин, меж тем как они торопились вниз по тропе, направляясь на берег Балтики, где нахохленно чахли сосны, небрежно валялись какие-то валуны и виднелись подсобные сооружения.

Факельщики в казацких папахах, шедшие впереди, расступились и остались снаружи. В сених Леонид обернулся: море темнело, пенилось и шипело за спинами факельщиков, словно туборг. За горизонтом угадывалась родная Эстония.

Друзья разделись. Проводив Леонида за некую переборку, Урхо набросил себе на плечи купальный халат и уверил, что скоро вернется. И вышел. Б. сел на одну из тех деревянных широких ступеней, что вели в тупик потолка. Начал ждать. В помещении было тускло. На теле выступил пот.

Вид собственной обнаженной натуры давно не радовал Леонида. Изучая ее, он всегда констатировал, что годы минуются не напрасно: тут – новая складка, там – словно бы пролежень, а здесь, возле щиколотки,— петушиная шпора. И ни утренняя гимнастика, ни микстуры не могли отвратить увядание. Бренность тканей наличествовала во всей полноте.

Как вдруг Б. почувствовал, что не только он сам, но и кто-то помимо участливо всматривается в его наготу. Он поднял взор. Долговязая, юная и тоже нагая, пред ним, разглядывая его, стояла какая-то незнакомка чухонского вида. Охотник насторожился. Подобного с ним не случалось даже в период военных пертурбаций, когда вопреки уставу случалось все что угодно.

«Попариться заглянули?» – обратился он к даме с галантным вопросом, но осознав всю убогость его дежурности, стусевался.

«Массаж, массаж»,— безбожно коверкая это слово на иностранный лад, залопотала та.

«Вот она, заграница! – мыслил Местоблюстителю, млея на топчане под ласкою настоятельных рук.— А мы, недотепы, все ветками хлещемся. Эх, язычество, понимаешь!»

Руки эти, все их ухватки, были такого рода, что, несмотря на телесную свежесть специалистки, выдавали в ней опыт бесстыжей блудницы, гулящей игривицы.

Голова приятно покругивалась. На ум приходили волнительные картинки из тех неприличных журналов, которые сын его, Юрий, выписывал из заморских стран. Под предлогом незнания языков Леонид никогда не просматривал их в домашнем кругу: застенчивость в данных вопросах была у него пятою Ахилла. Но тут – он не выдержал. Он привлек массажистку к себе и, походя растрепав ей белесые лохмы, сделал с ней то, что, ссылаясь на занятость, давно уже не проделывал ни с супругой, ни с посторонними женщинами.

Смущенье, с каким Леонид овладел массажисткой, с лихвой окупалось развязностью, с какою та отдалась, амикошонски обвив его шею ногами. Поэтому он легко подавил угрызения совести, с легким сердцем вернулся на родину, быстро прошел в кабинет и вызвал Косыгина. Тот пришел.

Угостив его хельсинкской папиросой, Леонид нетерпеливо спросил: «Послушай, что там у нас в Новодевичьем делается?»

«Кладбище функционирует нормально,— рапортовал Алексей. – Хороним, охотимся».

«А монастырь?»

«Типичная пустынь. Разор, запустение. И нового ничего там в действительности не делается. Одно название».

«А что если нам туда и вправду девчушек каких-нибудь поместить? – дерзнул Леонид.– Возобновить, понимаешь, традицию».

«Девчушек? – зарделся Косыгин, тоже, в сущности, не избалованный эротикой человек.– По этой части ты лучше с молодежью переговори – с Романовым, Пономаревым, а я, знаешь,– пас».

«Напрасно отказываешься: здоровая вещь. Приобщились бы иной раз, отдохнули б. Да и гостям развлечение. А то что получается? Прибывает ответственная делегация, а ее кроме театра и повести некуда. Несолидно,– сказал Леонид,– несолидно». И дал отчет о визите в Финляндию. Брикабрак же, впоследствии пересказавший эту соблазнительную историю автору строк, стоял, как всегда, за портьерой. Он был вездесущ.

Выслушав Леонида, Алексей совершенно преобразился, воскрес. Его лихорадило. Тогда, не тратя времени попусту, они пригласили прораба, составили смету на реставрацию монастыря, провентилировали вопрос в Сенате, согласовали план действий с Митрополитом и выбили необходимые средства. Так был учрежден негласный Дом Массажа правительства, сыгравший такую заметную роль в воспитании, а позже и в перевоспитании моих чувств.

Новодевичье! Вольница! Я ль не люблю твоего подворья, твоих лукоглавых храмов, лукавых калек, лупоглазых паломников, облупившихся стен и повитых чем-то ползучим, колючим и колокольчатым стен и башен. Не я ли играл в твоих парках, садах и скверах, мечтал по твоим читальням, мужал в твоих

кельях и закоулках. Не ты ли, обитель царицы Ирины, дышала в лицо перегаром древности, сквозняками своих подворотен, застойным духом неприбранных усыпальниц, грибную духмяность свежих захоронений. Признайся, не юность ли Командора бродила аллеями помпезного твоего погоста, звенела твоими ключами и ключевыми болванками, скрипела разошедшей обстановкой твоих мебелирашек и караулен стрелецких.

О, нам есть что припомнить на старости наших лет. До чего ж, например, незапамятны самые первые вылазки в пределы твои совместно с опекунами моими. Поверите ли! мы выезжали засветло – затемно – в полдень – когда угодно. Даже зарею, когда в злачной лавке на станции Эмск-Кабакский откупоривался последний пивной бочонок, а мимо, визжа полозьями и тугими, упругими девками, проносились куда-то тройки. Случалось это всегда спонтанно. Наскоком. Без всякого перехода. Так бьют навскидку. Это – сбывалось! Случалось, у нас в Александровском вертограде, сурово насупив брови, еще только тужатся под присмотром прислуги кремлевские пудели и болонки, а Ваш покорный слуга в развевающейся хламиде уже направляется по пешеходной дорожке брандмауэра в Пыточную башню-клинику – сдать на анализ щепотку кало, несомую в спичечном коробке сопутствующей няней Агриппой; иль попросту вышел пройтись по делам искусств и ремесел, из коих важнейшими ему всегда представлялись пластические (см., например, мои собственноручные записи в гроссбухах кунсткамер).

Пытаюсь, но не могу припомнить такого периода, когда бы их судьбы не волновали меня. И часто заглядывал я то в музей восковых фигур, расположенный в Грановитой Палате, то к его вдохновителю и директору чучельнику Вучетичу, то в полуподвальную мастерскую скульптора Неизвестного. Вращаясь в кругах крепостной богемы и создавая надгробия членам правительств и орденов, он снискал себе всенародную славу и том посрамил фамилию. Незабываемо было спуститься под своды его ателье, ощупать фактуру новых произведений, вдохнуть ароматы мрамора, алебаstra, извести, пристально взглянуться в размашистые повадки художника. (Будьте любезны дать сноску. Памятник, установленный мне напротив ночлежного учреждения «Метрополь» на месте чуждого нам по духу немчуры Маркса, изваян именно Неизвестным, и я безусловно склоняю голову перед сим атлетического сложенья талантом, хотя идею памятника Эрнст позаимствовал у оригинала. Вернее, я просто набросал ему на салфетке примерный проект, в двух словах

уточнил детали, и через несколько месяцев ансамбль замаячил на площади Эволюции (бывш. Революции). Он причудлив. Мои современники были особенно эпатированы тем фактом, что колесо двухколесного катафалка не то чтобы еле держится, а совсем уже отлетело и, снабженное парой орлиных, растущих из ступицы крыл, уселось на вспомогательный постамент. Такое решение выдвигает на первый план ощущение высокого динамизма конструкции и несмотря на очевидную неполадку, точнее – вопреки ей, заставляет почувствовать, как нарастает скорость повозки, как ритм бешеной скачки, символизирующей агонию поступательного движения, попирает все основные законы механиков – пародирует их – рядит их в шутовской колпак, околпачивая заодно и косного зрителя. А в целом скульптура выполнена с ошеломляющей искренностью и теплотой. На северной грани цоколя выбита проникновенная надпись – цитата из книги моих же избранных эпитафий: «Не плачь по мне, Россия!»)

Однако приятная утренняя прогулка в клинику или в художественное ателье могла быть безапелляционно оборвана шедшим навстречу мне Леонидом Брежневым. Одет в таких случаях он бывал между прочим, по-загородному, с напускным небрежением. Но если одежда еще могла оставлять в отношении его намерений те или иные сомнения, то берданка, висевшая на плече, их развеивала.

«Собирайся! – кричал он мне издали. – Едем!»

Достаточно Вам спуститься особой лестницей в наши винные погреба, пройти одним из боковых лабиринтов, соединяющих зал полусладких с залом полусухих напитков, наискось пересечь последний, открыть дубовую, круглую, замаскированную под дно бочкотары дверь в освещенный газовыми рожками сужающийся коридор, миновать его – и Вы попадаете в своеобразный тупик: на конечную станцию подземной конки негласного типа. Линия конки однопутная, с разъездами, тоннели ее узки, а вагоны малы и грохотны. Зато какие-нибудь полчаса – и Вы на месте: четверка пегих веснушчатых пони, запряженных классическим цугом, развозит вас – членов правительства и ваших семей в самые противоположные уголки города – на Ваганьково. Новодевичье, в Востряково, другие места активного отдыха граждан.

«Пооди-пооди!» – лихо трогает с места в карьер Климент Ворошилов, восседающий на табурете вагоновожатого. Человек-легенда, прошедший путь от простого питерского извозчика до казачьего маршала, он держится строго, степенно, себе на уме. Остальные охотники настроены благодушно, непринужденно. Все – в шапках, папахах, а если весна – в фуражках. Речь заходит о чем придется. Рассказываются пикантные происшествия, обсуждаются виды на урожай, беседуются о стихийных бедствиях, говорится о пользе локальных войн и репрессий. На поворотах сильно мотает, и то и знай сидящие слева валяются на сидящих справа. Начинается куча-мала, все смеются, дурачатся, ставят друг другу рожки, а непремный маэстро наш Ойстрах наигрывает задорную фугу. Поездка проходит в обстановке товарищества.

Я взглядываю на Хрущева. Голова его свесилась, рот приоткрыт, а глаза прикрыты. Думает ли Никита Сергеевич над моим вопросом, забыл ли о нем?

«Дядя Ника, – опять тереблю я его рукав. – Вы почерк мой разбирали?»

«Чего? не слышу, – преобразился он в слух. – Повтори».

Повторять не хотелось, и мы вернулись к этому разговору позже, когда дядя Ника был уже не у дел, а я, сиротливый недоросль, все еще не при них. В те дни Лобное место осенили куполом шапито и открыли там для элиты оздоровительное кафе-шантан с виртуозками живота, стриптизками и прочей экзотикой. Кафе располагало широким ассортиментом блюд. Фирменными считались гланды тапира и аденоиды кабарги. Мы договорились о встрече и заранее задержали столик. Довольно массивный, он стоял в центре зала и в выгодное отличие от походной ванны моей ножками не обладал. О небо! какой Нострадамус мог бы предугадать, как обернется вся эта история с яйцами.

Ведь тогда, пытаясь извлечь их оттуда, куда они закатились, я взываю – стучу в переборку – звоню в свой серебряный колокольчик: вотще: извиваясь механическим серпантином, мы озабоченно мчимся во чреве Аркос-де-лос-Фронтерийского тоннеля. Шум поглощает мои звуковые сигналы: никто ничего не слышит и не приходит. Утратив терпение, я перевешиваюсь через борт таким образом, что мгновенно терплю фиаско, читай – утрачиваю равновесие. Причем не только свое, но и ванны. Вы поняли, что я имею в виду: но и ванны! И опрокинувшись, та словно бы выблевала из себя всю воду вместе с нашей в ней утренней процедурой и португальской эскадрой, завтракавшей на рейде. Да что там эскадра; выплеснуло даже мои нейтральные субмарины.

«Экое дурное предзнаменование!» – обрушиваясь, осенило меня. И пав еще одной жертвою гравитации на пол купе, я лежу, ужасаясь подняться, страшась свидетельствовать остальные последствия катаклизма: разрушения, причиненные им, могли быть поистине впечатляющи.

Первое поползновение мое было в сторону двери – открыть – позвать Одеялова – только не колокольчиком – и не криком – а воплем ушибленного гамадрила. И уже не столько насчет яиц, сколько насчет распоряжения об отмене похода. А то и просто на помощь. Но добравшись до двери, мне было поразительное видение: в зеркале! Вы тоже, возможно, езживали в таких зеркаленных сплошь салонах. Не думаю, чтобы их упразднили – зачем бы? В конце концов, не так уж они и плохи, как принято почему-то считать. Объемны, светлы, одноместны. Конечно, на первых порах, может быть, и случается одиноко, однако если Вы обратили внимание, ванна в любом из таких помещений встает без проблем – ну, а это уже немало. А зеркала при желании можно задрапировать; что и было предпринято накануне отправки. Впрочем, ткани, как водится, не хватило: дверное зеркало продолжало зиять. И взглянувши в него, дерзающее лицо отшатнулось.

Нет-нет, не помыслите ерунды – я вижу себя, лицезрю и, следовательно, наличествую. Я – есть, клянусь Вам. Клянусь и подчеркиваю. Иными словами, я хорошо понимаю, в чем именно Вы желали бы усомниться, читая читаемое. И вообще – оставьте в покое Вашу иронию, этот тон недоверия, эту платоновскую ухмылку. Боюсь, они не идут Вам. Сомнение здесь не полезно. Оно на манер коррозии разъедает творимый Вами же миф. Вами, мой незнакомый дружище, – не мной. Ибо что я на самом деле – если уж разбираться – такое с точки зрения бестии Вечности или себя как стороннего наблюдателя? Опасаюсь, я не больше того, чем себя сознаю и помню, чем полюбил полагать. Я есмь клейкий росточек генеалогии. И только. И лишь. Сколь непомерно бы ни занесся. А вот для Вас, для Биографа, я – в силу обратности исторической перспективы – несравненно выше любого меня, пусть даже и вознесенного, мрамореющего уже при жизни. Я – миф. И Вы творите его.

Короче, уж как Вы там смеете себе фарисейничать – понятия не имею. И если Вы все же, ехидствуя вымышленным мною ликом, проскрипите скептическое: «А был ли мальчик?» – ибо эта банная шутка, наверно, еще не изъята из обращения – я бесстрашно отважусь на позитивный ответ: «Был. Правда, прежде, когда-то. А ныне вместе с водой и калошами на пол ванного, если угодно, купе – вдали от родных берегов – было выплеснуто одинокое, забытое денщиком существо в отсырелой пижаме. Существо, горделиво прячущее виноватую улыбку в монокль. Большое. И в чем-то глубоко уязвленное. Этаким, извините за наукообразность сравнения, престарелый выкидыш. В зеркале!»

И говорю себе, внутренне отшатнувшись: «Отнюдь! отставить! На помощь звать теперь невозможно. Услышат – сбегутся. Проводники, дрезинчики, канцелярия. Поднимут, станут внешне сочувствовать, а внутренне, про себя – улюлюкать: дескать, стыд-то какой: Свидетель Хронархиата, а практически не одет, да еще и в бирюльки играет, в кораблики. Чернь, умишка на грош, а ведь не оправдаешься перед ними, не обелишься. Не будешь же им стратегию морского сражения излагать: бисер, батенька, бисер. Немало званных, да с горстку призванных».

Так, рискуя простыть и окончательно слечь, слабый, но гневный на Одеялова, что он ни о чем не догадывается, не идет, я лежу один на один с отражением, не сумев позавтракать, в луже, пока он, все-таки, не является, осознав, что к яйцам, видите ли, соли неплохо подать. Но когда он пришел с ней, придя, я уже совершенно остыл и ничуть не бранил его. И вместо того чтоб наставить – лишь мирно расстроился я у денщика на груди. И вспомнилось детство, когда, рассадив, бывало, колено, я коридорами власти прибегал к утешениям вот таких же усатых и важных опекунов моих. Дядя ль Иосиф, Серго ли Орджоникидзе, Буденный ли – они никогда не отказывали мне в ласке. И сколь худо о них ни писалось бы задним, давно загробным числом, я никогда не поверю в эту бессовестную, суесловную чушь. Смею уверить вас, дамы и господа борзописцы, то были довольно прекрасные люди присущего им периода. Во всяком случае, не хуже нас с вами. И я не вижу, как сложились бы мои обстоятельства, если бы не они – не забота их и внимание. Убежденный интернационалист, я, разумеется, возлюбил сих великих кавказцев. Возлюбил, несмотря на всю их гортанность и взвинченность. Так и знайте! «Что? Почерк? – переспросил спустя много лет дядя Ника.– Да-да, разобрал».

«Ваши выводы?»

«Я нахожу тебя человеком крутого замеса. Ты создан руководить».

Годы неопределенности и становления перешли. Мнение Хрущева оказалось пророчеством. Но тогда, в средоточье России, на Лобном, автор строк лишь взмахнул руками: «Ах, что вы, что вы, какой из меня политик». И как умел–рассмеялся. Смех мой был хрупок, рассыпчат и нередко переходил в аллергический кашель, а вскоре и вовсе рассеялся, словно бы папиросный дым.

Ветер, дувший в прорехи шатра со стороны Исторического музея (Ныне музей Безвременья), весьма освежал. Освежало и пиво. Ника по вредной привычке много курил, стряхивая пепел в кадушку, откуда росла смоковница.

«Человек! – обратился Хрущев к молодцеватому половому в мундире от медицинских войск.– А верно ли сказывают, что головы тут рубили?»

«Так точно,– рапортовал тот навтыжку.– Отнимали».

«Мерзавцы!» – посетовал мой визави, в сердцах откидываясь на спинку петровского трона, заимствованного в Грановитой Палате на летний сезон. Я же, если не ошибаюсь, непринужденно откинулся в елизаветинском.

«Топором»,– пояснил половой, услужливо ударя себя по шее ребром ладони. Но боли он не почувствовал, только тело его сразу словно б увяло, стало ненужным, чужим. На вид казненному было за пятьдесят, тогда как в действительности не сравнялось и сорока. Если верить архивным источникам, он переживал очередную молодость с одной из мадьярских стриптизок, этих весьма темпераментных и лохматых лахудр; отсюда и мешки под глазами.

«А где? – разволновался Хрущев, с зоркостью близорукого осматривая кафе.– Где конкретно?»

«Разрешите побеспокоить?» – сказал военный. Сказав так, он переставил все со стола на поднос и хищным движением сдернул скатерть.

Предмет, открывшийся нашему взору в тот по-летнему незабываемый вечер, Вы можете наблюдать ежедневно за исключением выходных в лавке своего излюбленного мясника, если только мясоедение еще не отменено декретом вегетарианского кабинета министров, каковая мера давно назрела и висит в перспективе клинком Дамокла. Разумеется, мы не настаиваем ни на чем ином, кроме обыкновенной дубовой колоды, на которой особыми секирами и ножами глумятся над

трупам наших ни в чем не повинных собратьев по фауне. Причем наиболее деликатной частью телятины и конины всегда почиталась грудинка, или, как в честь фаворитки-графини назвал эту вырезку Лжедмитрий Второй, Чельшко-Соколок. (Свекор Клавдии Митрофановны Чельшко-Соколок приходится мне прародителем пятнадцатого колена по материнской ветви. Пришлась мне в пору и его музейной редкости епанча, найденная в

ходе моих отроческих походов по запасникам Платяной Палаты. Это дает основания утверждать, что род наш не оскудел еще плотью. находка ценна и в другом отношении. Она свидетельствует, что организм шубной моли *tinea pellionella* иммунитет к нафталину успешно выработал. Не успел я составить дистих «Вот надену себе епанчу – и помчу, и помчу, и помчу!», как ворс в основном осыпался, ткань распалась, и при свете керосиновой лампы Павла Петровича из екатерининского псише (род старинного зеркала на высоких подставках), где каких только прелестей не отражалось когда-то, на меня загляделся один мой до боли знакомый, одетый, однако, почти инкогнито: столь преобразили его прашуровы лохмотья. (Вдобавок на нем была критская маска Орфея, одна из ценнейших в его огромной коллекции.) Впрочем, пристало ли нам кичиться знатностью происхождения. Оставим сие на откуп тем, кому ее не хватает, и – в путь. Как заметил старик Лэрри Дальберг своему королю Карлу Первому, когда у того на помосте сдуло и покатило шляпу и оба пустились ее догонять и догнали, «Делу время, потехе час, В. В.») Никита Сергеевич осторожно рассматривает сплошь иссеченную поверхность нашего неполированного стола, трет затылок и, словно что-то соображая, долго молчит.

«Плаха, что ли?» – роняет он наконец.

«Плаха, плаха, – угодливо, словно снятую с плеч долой августейшую голову, подхватывает на лету половой. – Та самая. На ней и рубили». Ища отличиться, он щелкает каблуками.

Никита Сергеевич вздрагивает.

«Историк один разыскал», – говорит военный.

«Историк?» – вступил, оживясь, я в беседу.

«По древностям спец, сочинитель. Искал по подвалам икону какую-то, а набрел на плаху».

«Фамилию помнишь?» – спросил я официанта.

«Солоухин», – ответил тот.

Тогда имя это мне ничего не сказало, однако впоследствии он нашумел своими речами и манифестами так, что даже и мне, человеку без политической подоплеки, случилось почитать его сочинения. Горяч, задирист, автор их не лишен был известной публицистической жилки. В послании, куда его удалили за антиправительственные дерзости, мы познакомились лично. Правда, там его знали под несколько видоизмененной фамилией – Солженицын.

«Добрый день, дорогой мой», – сказал я ему, по-прежнему делая вид, будто рассматриваю в трубу следующих за нами дельфинов, поскольку догадывался, что пароходы подобного класса кишат агентами всевозможных служб.

«Палисандр Александрович? Вот так встреча!» – воскликнул он, также не оборачиваясь. И раскольничья борода его обрадованно взметнулась.

Мы шли на персидском судне «Звездочет Низами» рейсом Порт-о-Пренс – Гибралтар. Огибая Азорские острова с подветренной стороны, беспрестанно качало. Подробнее наши взаимоотношения отражены в моем томе «Неизгладимое». Полистайте: весьма любопытно.

«Вы свободны», – сказал я официанту.

Он повернулся идти.

«Погодите, – поймал я его за лацкан с гремучей змеей. – Я должен вручить вам ряд денег за оказанные услуги. Вот. Только потрудитесь не пересчитывать». И выдал ему несколько золотых «палисандров» – квадратных монет с профилем Вашего корреспондента. (Автор определенно что-то путает. Описываемый эпизод относится к эпохе иного профиля, иного чокана, когда на денежных знаках фигурировал один из моих предшественников. «Палисандры» же появились значительно позже. Хотя в остальном с подлинным все справедливо: на чай полагалось давать во все времена. И давалось.)

Проводив полового взглядом, я оборачиваюсь к Хрущеву. Облокотившись на плаху, Никита Сергеевич рыдает: он явно навеселе. Наверно, уместней было бы не заметить слабости бывшего педагога, выказать такт, не опрашивать – мало ли о чем может скорбеть

стареющий мемуарист под мадыарскую скрипку. Тем не менее я не выдерживаю: «О чем вы?»

«Да видишь,— салфеткою утирался Никита Сергеевич, люди тут кровь проливали, историю делали, а мы тут, значит, едим, распутничаем, классику слушаем. Непочтительно это все, некрасиво. Иваны мы, сударь, непомнящие».

Я киваю. Не успевший уйти окончательно половой приносит еще пару рижского.

«А особенно,— продолжал Хрущев,— особенно стрельцов я жалею. Верно Суриков их, художник, показывает, Василий Иванович: жены, матери их кругом – печалуются, кричат, а ребят все одно, понимаешь, под руки – и на казнь. А утро – ну такое, значит, хорошее, такое раннее – живи-не хочу. Нет, изволь расставаться»,— описывал дядя Ника и топал ногой.

Стриптизка визжала. Смычок экстатировал.

И было уж за полночь, когда вдвоем с половым мы вывели Х. под открытое небо. Повозку подали. Я усадил воспитателя. Сел и сам. Конструкция тронулась.

В связи с капитальным ремонтом Кремля мы временно жительствоваали тогда за мостами, в Замоскворечье, где, судя по некоторым данным, должно было поселяться купечество, но я что-то ни разу не обращал внимания, так ли это на самом деле, а если и так – так что же? Меяс тем ремонтировали и мосты, и везли нас долго, кружным путем. Зато я нисколько не утомлю Вас описаниями погоды, если с присущей мне сдержанностью констатирую, что погода была. Конечно, Вы вольны добавить какую-нибудь отсебятину, я не против. Рисуйте и дорисовывайте. Передайте, кстати, что вызвездило. Заметьте, что на небе вместо дежурных Рыб заказали отличного Рака. Что по мере езды катафалк все шибче дряхлел, кучер необоримо обнашивался – и осень кончилась разом, словно бы оборвалась остывшая водевильная связь. Назад уносились засиженные белыми мухами тумбы, киоски, вывески и другой реквизит городского спектакля, к восхищению модного зрителя расставленный исключительно нехаляво – как если бы упразднили цензуру.

Попутчик мой спал. Его наполеоновская шинель, подбитая средиземноморским мистралем, грела плохо, и сны ветерану виделись из рук вон, да, наверное, броские, яркие, полные хитросплетений: он вскрикивал и подергивался. А я, изведя уж изрядную сумму страниц, нисколько не удосужил себя маломальской фабулой. Пропасть моей вины перед Вами – неизгладима. И пусть, в бесчисленный раз оглянувшись, я нахожу, что жизнь моя была бессюжетна, скушна и непередаваемо хаотична, а снов я, увы, не усматриваю в силу какой-то патологической ненаблюдательности, это не избавляет меня от необходимости упорядочить данное бытоописание, изукрасить его, сделать удобочитаемым и, если потребуется, обратиться к энциклопедическому соннику. Словом, пора завязать интригу. Но прежде чем я поступлю так, пообещайте, что в книге моих посмертных, или, если угодно. Ваших прижизненных обо мне записок (что, по сути, одно и то же, поскольку я разрешаю Вам пользоваться моими набросками широко, без стеснения, до неиспользования кавычек включительно, иначе Вы станете это делать без разрешения и испытывать естественную неловкость, а я не хочу налагать Вам охулки на руки ни в каком отношении) не будет помещено никаких материалов, касающихся моих взаимоотношений с Надеждой Сергеевной Аллилуевой.

Я позаботился, чтобы вся переписка наша была сожжена. Сожжены и совместные фото. Но, может, что-то еще осталось. Найдя – уничтожьте. Прошу Вас. Пусть память о ней пребудет безупречно светла – а? Безумица! Я до сих пор не могу набрать для ее поступка весомых мотивов. Ведь дядя Иосиф души в ней не чаял. А обо мне, кому она заменила умершую мать, а затем и ушедшую в лучший мир няню Агриппу – и говорить не приходится. Я обожал ее всесторонне. Став другом семьи, мне открылись страницы ее истории.

Иосиф встретил Надежду, когда она была фигуранткой императорского варьете. Подружились, сошлись характерами, решили венчаться. Возникло неожиданное препятствие: против церковного брака вообще и в особенности выступили троцкисты.

Тогда, чтобы не дать нежелательной пищи для политических кривотолков, повенчались тайно, а Троцкого под благовидным предлогом выслали в Уругвай, где он и почил от укуса тарантула. Брак же случился на зависть радужен. Пролистывая в порядке ознакомления безответственные мемуары Светланы, их беглой дочери, я благодарил Провиденье за то, что чаша родителя меня счастливо миновала, и дети мои – вероятно, лишь в силу отсутствия – не нагородят подобной обо мне несусветицы. Насколько же нужно не уважать мать с отцом, живших, что говорится, плечом к плечу, чтобы на потребу сенсации намекать на какие-то страсти-мордасти в духе шекспировского «Отелло».

«Простите меня, старика, Светлана Иосифовна, – писал я ей в частности, – но боюсь. Вы не ведали, что творили. Ваш батюшка ревности был восхитительно чужд. Да и к кому – среди сборища маразматических мозгляков и гнид, которые его тогда окружали и были рассеяны (Более точно – расстреляны) лишь с приходом Лаврентия – мог бы ее ревновать этот ладный и годный еще хоть куда Дон-Кихот без упрека и страха? Переберите весь добериевский Кремль: среди сколько-нибудь любвеспособных мужчин не отыщется ни одной достойной кандидатуры. Правда, был еще я, но я был вне подозрений. Всегда. Во всех случаях. Ни одному крепостному мужу не взбрела на ум абсурдная мысль ревновать супругу к ребенку, пусть и необычайно крупному. И Ваш батюшка, милочка, исключения тут не составил. И не оспаривайте, пожалуйста, я знаю лучше. Иначе говоря. Надежда Сергеевна оставила нас добровольно, по собственной инициативе, и я неоднократно рассказывал соответствующей комиссии как. Раз, играя в серсо у дверей ее будуара, я услышал отчетливый выстрел и заглянул посмотреть, не нужна ли помощь. Увы: все было кончено. Иосиф склонился над еще теплым телом жены, сжимая в руке ее собственный дамский браунинг. Завидя меня в дверях, уронил: «Финита». И сразу добавил: «А как ты думаешь, почему она это сделала?» Недоуменно пожав плечами, я наскоро распрощался и скорбно выбежал. Прощайте и Вы, Светлана Иосифовна. Остаюсь, с удивлением, Ваш Палисандр Александрович».

Что же касается так называемой загадки смерти собственно Сталина, то спешу заверить любителей помистифицировать публику вроде некоего Авторханова Абдурахмана, оставившего Отчизну в годину ее затруднений и настрочившего несколько псевдоисторических детективов, что там, где есть факты, загадкам – бой.

Как-то летом дядя Иосиф наметил круг пограничных реформ. Речь его шла о поднятии «железного занавеса». Кавычки здесь не случайны. Ведь никакого такого занавеса на границе не было и быть не могло, иначе то была бы, наверное, не граница, а балаган. Впрочем, как и на всяких суверенного государства рубежах, там в небольших полосатых будках селились добропорядочные чиновники определенных ведомств, обуреваемые сомнениями и тревогами. Сталин, однако, не разделял опасений сих осмотрительных служб: он считал, что настороженность по отношению к соседствующим державам служит к обоюдному уничтожению и конфузу.

«Слушай, – не раз сокрушался он Берии по пути на рыбалку в Парк Горького, – для чего нам на этих заставах людей держать? Неудобно. Давай отзовем».

«Слушай, что говоришь! – отвечал Лаврентий, прилаживая поплавок. – Народ уезжать начнет».

Насаживая на крючок мотыля, Генералиссимус возражал: «Что худого? Поедет – посмотрит, вернется – расскажет. Зачем неволить? Народ – птица вольная».

«Нельзя, дорогой. – Лаврентий забрасывал удочку. – Неприлично, чтоб люди без денег ехали».

«Что деньги, Лаврентий! Неужто кредиток тебе для народа жалко. Напечатай – и обеспечь». Клевало. Генералиссимус подсекал.

Аргументация Сталина оказалась настолько емкой, что уже к Сретенью в расположении крепости появились партии отозванных с пограничья псов – первые ласточки знаменитой «оттепели», инициатива которой приписывается кому угодно, только не дяде Иосифу. Собак оказалось масса. Вольеры реконструировались исподволь, и в ожидании новоселья

животные содержались в подвалах Большого дворца, куда мы, кремлевская детвора, безусловно имели доступ. В ход шли пирожки, мармелад, пирожные и другая нехитрая снедь, в обилии остававшаяся после приемов. Понятно, что дружба нагла с четвероногими состоялась и крепла. Мы регулярно водили их на прогулки, купали, чесали за ухом. Зима же происходила своим чередом, и снежинки подолгу не таяли и на собачьих ломах, и на наших бобровых воротниках, розовея при свете рубиновых звезд. Было очаровательно.

Раз под вечер, кубарем накатавшись на ледяной горе, заливаемой Главным Дворником в районе Соборной площади, мы продрогли и направились отогреться в бревенчатую избушку, перенесенную в Кремль из Филей в качестве дома-музея Кутузова и войны восьмьсот двенадцатого года вообще. Затерялась эта крестьянская хижина на самом юру, меж Палатой Телесных Наказаний и виселицей декабристов, рачительно сберегаемой для потомков. Но если никто не видел, мы использовали ее как «гигантские шаги» и качели. Правда, под сорок девятым годом группа подростков употребила эту реликвию чуть ли не по назначению. Дело получило огласку. Но его наверняка удалось бы замять, если б не выяснилось, что казненная кошка была не бродячая, а была презентована китайским правительством русскому и отзывалась на кличку Мао. Слух о казни дошел до последнего как такового, и, оскорбленный, он требовал извинительных грамот и выдачи озорников по этапу. Следственная мельница встрепенулась, взмахнула крыльями, и, звеня кандалами, по Сибирскому тракту в Пекин потянулись колонны причерноморских скифов, ни в чем, казалось бы, не повинных. Разбирательству, да и нашим проказам, не видно было конца.

К сожалению, в многочисленных обо мне мемуарах приятелей того времени постоянно встречаешь неточности в описаниях нам присущих игр и прочих рассеянии. Сын Л. И. Брежнева – Брежнев Ю. Л. в трехтомнике «Палисандрово детство» писал: «Кремль был полная чаша. Все жили весело, увлекательно, без особых забот». Это верно, но не поленимся процитировать далее. «Из аттракционов, – рискованно утверждает он, – недоставало разве что каруселей».

Обидно, когда хорошую книгу портят такие, казалось бы, незначительные, а по существу непростительные ошибки, способные навести на мысль о намеренной фальсификации прошлого, о попытке если не повернуть обратно, то уж во всяком случае застопорить его маховик. Да, формально Вы правы, Юрий Леонидович. Отсутствие каруселей в строгом смысле имело место и на сторонний взгляд отзывалось откровенным лишением. Но разве не заменяло их нам своеобычное колесо, на котором колесовали когда-то наиболее рьяных крестьянских политиков типа так называемого Петра Третьего, прозванного Пугачевым? С лихвою. О, колесо! Сколь сладко подчас заскрипит оно на ночном ветру. И терпко затеплится, трепетно засвербит, занует в нас грусть по схлынувшему. И колобродим. Не спится. Звеним в гостиную бокалами, вилками. И щупальцами изветшалога мозга все шарим и шарим в туманных провалах былого. И нечем дышать. И рыдаем. Припомните, не оно ли хранилось тогда под навесом конюшни. Оно! Тушуйтесь же; не к лицу вам, кремлевскому старожилу, вольтижировать фактами. Ученый обязан быть точен и бережлив, а тем паче ученый с такой фамилией, как у Вас. Вы знаете басню о граблях? Один человек был небрежен и часто бросал их в траву как попало. Порок его был наказан. Однажды он сам наступил на их зубья. Удар черенка, пришедшийся лентяю по голове, заставил о многом задуматься. Так и минувшее. Блистательные калейдоскопы правительств и их народов, коронации и восшествия, походы и битвы, казни и покушения, расцвет ремесел и закаты цивилизаций – такими, мой милый, вещами нельзя разбрасываться в равной мере. Минувшее, не устаю повторять я своим приверженцам, следует уважать хотя бы уж потому, что мы сами, к несчастью, становимся его достоянием. Точнее не мы, а вы: вы становитесь, господа. Да, пружинится возразить нам завзятый скептик, но есть в минувшем и теневые стороны. Что ж, если взглядеться в глаза Истории надлежащим образом, то заметишь под ними и тени усталости, и морщины – следы терзаний, бессонниц. Взять прошлое русского трона. Издревле к нему на подступах творилась нездоровая атмосфера взаимонепонимания и нетерпимости. Смотришь – этот

удавлен корсетным шнуром одалиски, тот – заколот стилетом гардемарина, третий гильотинирован, четвертый как раз четвертован, пятый отравлен или затравлен – you name it (Перечислите сами (англ.)) . А я возвращаюсь к смерти дяди Иосифа. Я расскажу, как все было в действительности. Без умолчаний и без прикрас. Им нету здесь места.

Мы знали, что в той лубяной обители, где осенью восемьсот двенадцатого вершилась за ведерным самоваром судьба России, теперь вместо фельдмаршала К. коротает свои овдовелые ночи Генералиссимус С. И шумной, привилегированной, но по-своему демократичной гурьбой вбежали мы в эту избу в упомянутый выше вечер. Дети, внуки, племянники маршалов и министров, работников дипломатических и специальных служб, донельзя изнеженные приевшейся и постылой кремлевской роскошью, мы, нередко бывая здесь, находили немало прелестного в скромном убранстве старинной хижины, в ее неструганой обстоятельности, домовитости, в домотканности ее занавесок, в скупой, как мужская слеза, мебелировке. Вот – стул и стол, чтобы было на чем и за чем сидеть, закусывать, мыслить и все набрасывать и набрасывать конспиративным бисером памятку, тезис, приказ. Вот мыло и умывальник – умыться. А вот и то, что у нас в Отчизне пятеро из десяти назовут кушеткой, один – оттоманкой, а прочие – топчаном: спать? «Какое там спать, в Мавзолее выспимся», – кротко отшучивался дядя Иосиф в ответ на укор своего денщика Абакумова, отчего же он, дескать, все бодрствует. И, наконец, этажерка. И все это совершенно невзрачно – некрашено – ненаглядно.

Вбегаем. На столе еле теплится спиртовая лампа. Гвоздь в шифоньере, который мы не упоминали прежде, чтобы упомянуть сейчас, бездействует: привычная шинель с него не свисает.

«Прогуливается!» – вскричал кудрявый и слабонервный племянник Молотова Илья, имея в виду Иосифа. Без него было скучно. Слонялись, листали рукописи, в подражанье хозяину попыхивали его коллекционными трубками, рассказывали неувядающие притчи про Ленина, ковыряли шпаклевку.

Вдруг вспомнили о собаках, оставленных на морозе, пошли впустить, но те уже убежали ужинать. Остался и был приведен в музей только верный Руслан, длинная пограничная такса лет четырех. Само собою явилось решение сделать дяде Иосифу небольшой сюрприз, для чего Руслана заперли в шифоньере, а сами залезли на печь и притихли. Задернутый полог ее пах Филями, Мытищами, и маленьким Паганини пиликал сверчок.

К моменту, когда, ни о чем не догадываясь, взошедший в избу Иосиф скинул шинель и шагнул к шифоньеру повесить ее на гвоздь, спирт в лампе выгорел, пламя заколебалось, угасло, и остаток земного пути Сталин проделал ослепью. Ослепью же он нашарил торчавший в замочной скважине ключ.

Дверца скрипнула. Возликовавший о вольности волкодав благодарно кидается освободителю на грудь. «Засада!» – мнится последнему. Аорта Генералиссимуса переполняется кровью жил, не выдерживает и рвется. Тело падает, а фуражка, слетев с головы, откатилась. Комета, мутнеющая в окне на манер бельма, подчеркивает всю фатальность свершившегося. Животное выло и скалилось, и, оскользаясь, бежали мы обледенелой брусчаткой вестниками всеобщей беды, и лица наши были перекошенной лун.

«Он умер, умер, и черты его заострились!» – смятенно бился косноязык изреченной мысли в колоколе головы.

Осознание своей без вины виноватости, ядовитый осадок косвенного соучастия в преступлении века до сих пор разъедают мне память сердца, и без того истерзанную. И мне не хочется вспоминать в подробностях осложнения воспоследовавших дней. Буду краток.

В четверг всю компанию посадили под домашний арест, а в пятницу РКК – Родительский Комитет Кремля – совместно с моим Опекунским Советом приговорили нас к ссылке и лагерям. Приговор привели в исполнение немедленно, и на похороны полководца мы не попали. Обидно. Ведь так мечталось набрать по оврагам подснежников, наплести венков,

постоять в почетном карауле у саркофага. Не привелось. Уложили мы в немудрящие гробики их зубные щетки свои, иное рассовали по рундукам и разъехались по предписаниям кто куда. Слабонервный Илюша Молотов, например, уезжал в бальнеологический Баден-Баден. В Крым, в Артек, отправлялся лечить плоскостопие сын Кагановича Никанор. Желчную внучку Сулова хотели везти поначалу на грязи, однако врачи настояли на минеральных водах. Учитывая ее чистосердечное раскаяние и что Катя сходила с ума по Лермонтову с его демоническим идеализмом, Ессентуки заменили ей Пятигорском. Мне ж показан был Дом Массажа. Как старший по возрасту и практически ладный собой и здоровьем, я отдавался туда в работу на должность ключника, или – говоря языком плутовского романа – поверенного в келейных делах. (Литературная участь постигла и незадачливого Руслана. Хотя сам он сгинул на мыловарне, его биография, составленная сочинителем В. и изданная где-то на Западе в серии «Жизнь Замечательных Собак», вызвала большой политический резонанс.)

Нежеланный отъезд детей омрачал и без того невеселый дух крепости. Мы еще не успели убыть, а по нам уж, казалось, соскучились. Навещали, кормили разными вкусностями и, журя, желали скорейшего возвращения.

Помню сцену разлуки на росстани зимы и весны у Кутафьей башни: объятья, слова приязни и преданности, обещанья писать, позванивать. (Замечу, правда, что лично я никому ничего подобного не сулил, поелику был не слишком коммуникабелен. Отсутствие родственников и знакомых вне крепости (многоюродных теток в расчет не берите: их экзистенс элегически затерялся в Тверских-Ямских, Староконюшенных и Кривоколенных; не имеет тут смысла учитывать и закавказских огнепоклонников: они все равно неграмотны) ставило меня перманентно вне почты, вне рабской зависимости от нее, а с другой стороны, лишало корреспондентских навыков, всей ценной коллекции таковых, как губка впитавшей в себя: регулярное приобретение особых бумажных листков и марок, блокнотов для содержания адресов; умение пользоваться специальным ножом для распечатывания конвертов и клеем для их заклеивания, умение вписывать в узкие графы пункты предназначения и адресатские ФИО, абракадаброй велеречивости коих мы столь чужаемся; и, конечно, умение компилировать тексты посланий – придавая им некий смысл, украшая их датами и реверансами. Плюс, если только не минус, я был беспомощен в отношении бэлловского аппарата с его иерихонской трубой для уха и рта, с его дырчатым диском. Когда, услаждая жену Брикабракова, я бормотал ему из своей процедурной, что и мизинец мой не проходит в те небольшие отверстия, то душой не кривил. Члену Ордена Часовщиков по праву рождения, учеба на часовом отделении КРУБС не была мне рекомендована именно в силу величины и неловкости пальцев: в часах ведь такие тонкости, что даже и небольшой по размеру специалист постоянно трудится в лупе. Придирчиво взвесив все за и против, я поступаю на смежное, погребальное отделение училища, которое в связи с высылкой в монастырь решаю закончить экстерном.)

Высылка! Помню длинный кортеж, эскорт, помню талые лужи и отраженные в них траурные хоругви, штандарты, портреты. Лик виновника невеселого торжества, обрамленный аспидным крепом, глядел на меня с укоризной. Я отворачивался, и плечи мои сотрясались.

И вот уж я в Новодевичьем.

И меня встречают.

## Книга дерзания

Меня встречают уснувшие до тепла фонтаны, пруды в ледяных мундирах с катающимися на них грациозками. Меня встречают какие-то вековые деревья со скачущими по ветвям небольшими животными. И встречают киоски, решетки; встречает осунувшийся, по-пушкински ноздреватый снег. Встречают и статуи, на зиму предупредительно

замурованные в гробоподобные ящики. Меня, наконец, приветствуют и кое-какие служащие. Почтительно избавляют от багажа и ведут непосредственно в трапезную.

«На обед подавали рябчиков,— констатирую я в своем неукоснительном дневнике в тот же вечер.— Столики были сервированы на двоих».

Испросив позволения и не получив ни его, ни отказа, подсаживаюсь к незнакомой даме. Витая еще в путевой прострации, вид ее показался знакомым. «Я только что видел ее в среде конькобежек»,— думаю я. И сказал ей:

«Пленительная погодка, миледи. Типичная оттепель. Вы заметили, как помутился и матов каток? Мне нейдет его уподобить старинному зеркалу, у которого потрескалась амальгама. А вам? Между прочим, у нас в Кремле тоже есть ледяные пространства. Там, видите ли, заливают аллеи. Скользишь себе на досуге, вальсируешь».

Вся в чем-то вечернем и черном, в чадре и темных очках, незнакомка не отвечала, и мне не оставалось иного, как самому поддержать незаладившуюся беседу.

«Я в зимних забавах, конечно, не дока, не спец, но, по-моему, вы фигурируете на заглядение плавно. Просто что-то особенное. В вас бездна пластики, бездна. Вы истинная виртуозка». И все такое.

Как видите, тон беседы был bon, т. е. исключительно светск. Отобедав, моя незнакомка знакомого вида откинулась на спинку жесткого черного кресла и плавно отъехала в нем, манипулируя какими-то рычагами. Тогда, окликнув лоснящегося метрдотеля, которого звали З., автор строк надавал молодцу казначейских билетов и живо поинтересовался: «Скажите, дражайший, а та миловидная старушенция, с которой мы так славно потараторили только что, она вообще разговаривает?»

«Обычно без умолку,— отвечал мне распорядитель.— Впрочем, вот уже несколько лет, как — ни слова».

«То бишь — решительно ни гу-гу?»

«Совершенно».

«А что так?»

«Мадам настоятельница блюдет пост молчания».

«На какой же предмет?»

«Сожалеет о невозвратном. Вообразите, когда-то она состояла в супругах персидского головореза Хомейни. Слышали про такого?»

«Так, краем уха».

«Теперь старикан пошел в гору, разбогател, а прежде был заурядным муллой безо всяких перспектив. Жен своих содержал в беспорядке, впроголодь. Говорят, у него в серале не было даже водопровода».

«А ванна? Чем же они ее наполняли? Неужто единственно грязью?»

«Ванны не было тоже».

«Какое несчастье!»

«А за нуждою,— повествовал З. доверительно,— ходили в канаву и вместо туалетной бумаги употребляли обычные придорожные камни».

«Зачем же не подорожник?»

«Использование широколиственных трав в Персии карается по Корану,— ответил распорядитель.— Короче, рутинная гаремной жизни тяготила мадам, до замужества жившую как у Аллаха за пазухой. Шутка ли: дочь Мехмеда Шестого!»

«Вахидеддина?»

"Да-да, султана Оттоманской империи. Добрейший, рассказывают, был папаша, ничего для детей не жалел. И как-то, гостя у него в Трабзоне, она говорит ему: папа, можно я покатаюсь на лодке? Ну, разумеется, покатайся, сказал Мехмед. Тогда она села в шлюпку и уплыла».

«Далеко ли?»

«В Россию. Точнее, в Аджарию».

«Понтом?»

«С вашего позволения, Эвксинским. С ней плыл один знаменитый пройдоха – поэт, который, в сущности, и вовлек ее в авантюру».

«Турок?»

«М-м, младотурок, – уточнил метрдотель, знавший цену определенности. – Напосвящал ей стихов, обещал жениться, уговорил бежать, а по прибытии, если не ошибаюсь, в Батум, пошел да и утопился».

«Какая бестактность!» – рассерженно я сказал.

«Поразительная, – ответил З. – Бросить женщину с малолетним мальчиком на руках. Она ведь бежала с сыном айятолы».

«С сыном? А что с ним случилось?»

«Сначала вырос, потом состарился», – молвил метрдотель.

«О, за старостью дело не станет, время стремится искрометно, – посетовал автор строк. – И где же сей подвизается?»

«Неподалеку. Да вы его, верно, знаете, Ваше Сиротство, у него синекура на здешнем кладбище».

«Кербабаев?»

«Он самый».

Ах, мне ли было не знать Берды Кербабаева! Типичный персидский турок, он числился в офицерах того разряда, за коим упрочилось бравое имя запаса, и, будучи в нем капитаном, нередко нашивал не сапоги он, но валенки.

Есть люди, в чьих жестах упрямо сквозит ни на чем не основанная уверенность – в себе ли, в завтрашнем дне, в преданности ли своим идеалам – кто знает их, этих выскочек. Есть и другие, в чьих жестах сквозит неуверенность, что совершенно естественно и похвально. Наличествует, наконец, и третья категория публики. В жестах ее – даже если она по-бернардовски драматична – не сквозит ничего.

Капитан от складирования Кербабаев Берды Кербабаевич не вписывался ни в единую из перечисленных категорий, поскольку жестов за ним никаких не числилось и замечено не было. Он не употреблял их. Поэтому иногда казалось, что органами жестикуляции он попросту не владеет. Так те из нас, кто не использует бранных, или, как их еще называют, крылатых слов, способны произвести впечатление, будто их и не знают. Ведя себя таким образом, т. е. таким, что руки его постоянно висели – но не безвольно, как плети, однако и не по-солдафонски, навтыяжку, а спокойно и просто висели, – Берды представал перед Вами фигурой безыскусственной простоты, очевидности, был воплощенная ясность. Впрочем, не родился еще тот вышестоящий по званию командир, который отважился бы упрекнуть его в неотдании чести: прямота и спокойствие, с какими складеец держался перед любым начальством, не только делали Кербабаеву честь, но и не допускали никаких нареканий. Они же, разумеется, и подкупали. Все перечисленное обеспечило ему репутацию блестящего отставника и сотрудника, и привычка к валяной обуви не мешала ему в неслужебный ядреный денек блеснуть перламутром штиблета, брильянтом запонки, александритом галстучной скрепки, что, разумеется, не могло не питать завистливых сплетен, будто бы капитан нечист на руку и, сторожа от других, обирает захоронения сам.

«Так ли это?» – бестактно расспрашивали его иногда подвыпившие охотники, соизволяя шутить. Смугловат, хмуроват и подтянут, капитан им в ответ лишь насмешливо ухмылялся, и рот его, искаженный в детстве аджарскими компрачикосами, горел золотыми коронками, как монастырь – куполами.

«А мадам? как слагались ее обстоятельства? И если уж мы завели о ней речь, то как ее имя?»

«Мадам Шагане Хомейни. Хотя большинство клиентуры зовет ее просто Джуна. В последние годы она служила по границам – от Чили до Индонезии, в лучших домах нашего типа. Огромный опыт. Так что по возвращении в Эмск ее сразу направили к нам и произвели в настоятельницы».

«Строга?»

«Мегера», – признался метрдотель.

Мысленно потирая руки, П. загадочно улыбнулся: из дамских характеров ему наиболее импонировали злые и вздорные. «А что это за спицеблещущая колесница? У мадам, вероятно, проблемы с ногами?»

«Навряд ли, – сказал мне З. – Их ведь нету».

«С чего бы это?»

«С рожденья».

В тот же день прохожу инструктаж у завхоза, расписываюсь в амбарной книге в получение ключей и за полночь, весь проникшись сочувствием к настоятельнице и в нарушение всех правил, благоупотребляю один из. Вращаясь, окладистая борода ключа коснулась нижней кромки сувальды, штифт вошел в ее выемку, пружина ослабла, и ригель послушно откатился в резерв. Дверь не скрипнула. Я вошел.

Шагане почивала под балдахин. У изголовья ложа горел ночник, выхватывая из сумрака изысканно скупую сервировку прикроватного табурета: мелковатый фужер и заметно початый графин благородного саке; в нем, польщенная моей убедительной просьбой, кухарка мадам с вечера растворила немного снотворного. Лицо настоятельницы покрывала чадра. Как, должно быть, прекрасно оно в закоснелой своей порочности, подумалось мне, как неурядицы ремесла, вероятно, сказались в нем, если даже впадая в объятия Морфея, она продолжает скрытничать. Испорченное воображение зашло в ознобе. В минуту мое альтер эго окрепло, взошло, и, не прибегая к услугам рук, которые были скрещены на груди, я со стоном осеменил себе изнанку исподнего.

Шагане застонала. Ей снилось, будто какой-то прекрасный юноша – неискушенный, почти что невинный – изнеживает ей межножье. Всмотревшись, я трепетно узнаю в нем себя и снимаю с лица ее сетчатую вуаль. Предо мною возник испещренный краплениями, трещинами, траченный в азартных тасовках лик пиковой дамы – заблудшей дочери истамбульского истэблишмента.

Она разметалась. И если Вам посчастливилось созерцать хоть студенческий слепок начинающего Пигмалиона, изваянный с антикварной калеки из Мелоса, и если при виде физических недостатков богини дыхание Вам перехватывал спазм эстетической горечи, тогда Вы поймете, что мне открылось и довелось пережить. Жалость прилила ко всем членам моим, как хмель – и тут же перебродила в вино филантропии, гуманизма, в неутешимое искушение принять участие – в ней, потасканной стратотерпице – во всех ее сквернах, пороках, падениях и греховных исканиях. Мне захотелось пройти с нею вместе весь пройденный ею предосудительный путь, исследить его ретроспективно; опосредованно – методом искупительного самоуничтожения – отведать лишений замужества и внебрачных мытарств, проникнуться болью ее подневольных оргазмов, цинизмом интернациональных оргий – и только потом уж дать волю мятущимся чувствам, накипевшим слезам – раскаться и расплакаться: за нее, за себя, за нас взятых вкупе – нас, без усталости, разными способами погубляющих себе души.

Осторожно я приподнял ее, подложил ей под поясницу подушку, вошел на ложе и скромно, как для молитвы, встал пред женщиной на колени. Не решаясь прильнуть к ненаглядному телу, я дерзко, но сострадательно, словно лекарь, предпринял вмешательство во внутренние ее дела.

О беглянка! Войдя моим сызнова восхищенным блюдом в изнывающее в грезах лоно твое, – я вошел в эти грезы – наполнил их своим существенным содержанием – упруго овеществил – стал естественным и полнокровным их содержанием.

Очи турчанки взволнованно заматались под веками, линии лба и щек исполнились как бы сладкой иронии, но Морфей не выпускал ее из объятий своих, и Эрос бесстыдно зазыбил несчастную в люльке желанья. Когда же сомнамбулическое блудодействие постигла высокая кульминация и все существо Шагане потрясла малярия катарсиса, она очнулась; однако видение продолжалось и наяву: ею пользовались. Сон оказался на редкость в руку.

Настоятельница было невыразимо приятно и стыдно вместе. Хотелось кричать. Но – о чем? От чего именно? Она терялась в догадках.

«Простите, я вижу, вы смущены, – начал П., в свой черед приближаясь к заветной развязке. – Признаться, я тоже в смятении. Мне мнится, я давеча вас огорчил. Только я не выдумывал: там действительно кто-то катался, а я – я дальтоник, я – дальнорук, и весь мир – вся подлунная с точки зрения меня – или, если хотите, по мне – есть пестроватое крошево. Вся вселенная аляповато расплывчата. Фигуры заскакивают одна за одну – заползают, и где же – откуда мне было знать – согласитесь. Касательно, то есть, вашего incarsite – откуда? Мне, свежеприбывшему новобранцу. Сослали, сослали в ваше распоряжение, в ключники, а сами не предупредили, не упредили. И вот – выхожу кругом виноват. Захожу принести извиненья – заглядить – вы дремлете – раскидались – вся как-то ни в чем – и я мыслил просто поправить – не ситуацию, так хоть одеяло, подушку – хотя бы погладить – нет-нет, не кричите – теперь уже поздно – уж за полночь – ваши уста скреплены обетом – и вот – не взыщите – такая оказия – я на грани – на грани прекрасного!» – задохнулся П. в пароксизме раскаяния и прильнул к ее туловищу всем своим. И зизи его запульсировало, орошая ее развращенное чрево, которое всепрощительно конвульсировало в ответном порыве.

Ночь прилась нам не впору – была коротка. Коротка, как ночная сорочка для легкого поведения. И когда темнота начала кончаться, я продлил ее, плотно зашторив бойницу кедь, имевшую непристойную форму овала.

Мы познавали друг друга, не зная устали. Мы были решительно разные, но это-то и сближало нас – огромного русского отрока и небольшую пожившую женщину оттоманского происхождения. Ей нравилось во мне все: и голос, и внешний вид, и переизбыток страсти, и расцветка моего пижамо, и величина моего альтер эго, которое в продолжение всего визита практически не оставляло предмет восхищения своими заботами. Да и я отмечал в ней немало приятного: пожилой, нездоровый багрянец щек, крючковатый костистый нос, полноватый живот и линялый, местами повытертый, ворс лобка, и вислые, очень длинные груди с пупырчатыми наперстками синеватых сосцов: ими я упивался, как тибрские братья. Выше всяких похвал оказалось и лоно, которое то и знай доводил я до бешенства и в котором было вольготно, как ни в одном из ему предшествовавших: в тех мой блуд находил себя постоянно в стесненных, а то и в душивших его обстоятельствах.....

..... Не отставала и Ш. Мы оба были настойчивы, бескомпромиссны и беспощадны друг к другу, словно маньяки, купнодушно ищущие философский камень. И наши совместные поиски сближали нас и сближали: мы обретали друг друга. И упиваясь горячечным бредом соития, я причащался грехов ее, становясь человечнее, проще, а значит – прелестнее. А Ш., вкушая моей относительной непорочности и юной любовной влаги, прочувствовала, осознавала глубины своих минувших падений и – очищалась, раскаиваясь.

«Мы родились, чтобы встретиться, и встретились, чтобы переродиться», – горит моя дневниковая запись от марта девятого дня.

О, как целительна была наша связь, как искупительно и отрадно было это взаимное унижение. И на исходе следующей ночи и сил мы не могли больше сдерживать слез и детьми разрыдались в какой-то сквозной истерике: пытка счастьем казалась невыносимой. Так, сударь мой, вспыхнуло – полыхнуло – хлынуло первое настоящее чувство дерзающего лица. И точно так же началась его служба в качестве рядового ключника на каторге эротических буйств.

Должность ключника, насколько я ее понимал, считалась почетной, однако в Ваши обязанности что-то, все же, входило. Во-первых, Вы были обязаны быть им, считаться, числиться, что уж само по себе докучало; а во-вторых, знать и помнить об этой обязанности, для чего и носили на шее монисто из ключевых болванок, перебирая их,

будто четки. Вдобавок Вы записались на монастырские курсы ирландской чечетки и много практиковались в уединении. Причиндалами Пана – призывно! – брэнчало Ваше монисто и клацали Ваши голландские клоги – то тут, то там – по зацветающим закоулкам подворья. Вы звали – и она приезжала. Спицы ее партикулярного кресла, отлично подтянутые мастером на все руки отцом-привратником Никоном, воспаленно сверкали, и им навстречу сияли ролики моего самоката, искусно смазанные тем же Никоном. И реяли полы халата.

Съехавшись, мы немного катались по парку, нимало не прячась от монастырской челяди и гостей, ибо состояние персонального счастья, любезнейший, есть в первую голову состояние обостренного безразличия к посторонним – со всеми их кривотолками. Случалось, не вытерпев ждать до сумерек (По доброй традиции, которую мы почти никогда не смели нарушить, сотрудники заведения могли находиться в женских (Мариинских и Лопухинских), а сотрудницы – в мужских (Годуновских) палатах лишь от захода солнца до полудня), мы убывали в заброшенный сектор сада, где к нашим услугам висел читальный гамак. Мы читали в те дни «Кармасутру», староиндийский самоучитель фривольных утех под редакцией знаменитого сексопатолога Эриха Фромма, эсквайра. Девятитомное руководство пестрело сотнями репродукций с картин замечательных колористов Востока. События, запечатленные на полотнах, восходили, по-видимому, к раннему матриархату и носили, что называется, групповой характер, имея место на всевозможных качелях, батутах и в гамаках. Число участников ограничивалось только рамками иллюстраций: они буквально клубились телами, но каждый был очевидно при деле – кто непосредственно, кто – в порядке обслуживания: подавали напитки, помахивали опахалами, покачивали качели. Но чем бы и как бы ни занимались любвеобильные древние. Вас всегда остраяло выражение изображенных лиц – их спокойствие, созерцательность, кротость, их какие-то непричастные, благодные улыбки. Улыбки Будд. Отдавая дань мастерству, явленному в сих забавных буколиках, позволим себе осмыслить, что уже и античные живописцы не всегда, к сожалению, следовали этнографической правде жизни. Ибо таких малоэмоциональных улыбок в такие интригующие моменты действительности не удастся приметить нигде – пусть и на самом дальнем Востоке. И тем не менее «Кармасутра» доставила нам немало приятных и бесполезных часов. Конечно, мы не могли выполнять всех ее предписаний дотошно. Положим, в нашем распоряжении был гамак, но ведь не было никаких сообщников: целомудренны, мы довольствовались лишь друг другом. Но сколь по-настоящему, полнокровно довольствовались! И мимика наша – поверьте, мы специально сравнивали – не шла ни в какое сравнение с мимикой буддийских эротоманов. Наша была бесконечно естественней и щедрей.

Но лето кончалось: на кладбище зааукались первые грибки.

Размышляя о русской осени, заключаешь, что та не балует человека ничем, кроме вызревших кое-как плодов, и полна отвратительной слякоти и печали. Осень негуманно ставит Вас перед фактом своих проливных дождей, продувных норд-остов. У многих обложено нёбо, но небо – у всех. И хотя в бесхозьяственных наших широтах батуты и гамаки качаются меж березами и в декабрьский градобой, и мартовским буреломом, лично Ваш качальный сезон завершается в августе месяце. В сентябре же, когда безответное детство и отрочество гуртом загоняется в душегубки гимназий и бурс, а птицы шеренгами летят на курорт. Вы начинаете пользоваться гостеприимством некоторых разоренных склепов.

Бывало, я извлекал Шагане из коляски, усаживал на пустующий пьедестал и скорбно, в ритме «Аве Марии», делил с ней два-три безумья подряд. А потом, приведя себя в прежний вид, мы снова катались. Неуют этих поистине нежилых помещений, подернутых мхом, как мехом, и слизью, как слизью – снаружи и изнутри, не претил нам. Точнее, мы просто не замечали его, третировали невниманьем. И тот, кому хоть единожды на веку довелось пережить бесшабашное уличное приключение, а лучше – целый бездомный роман, тот поймет почему. Поймет, ностальгически улыбнется и скажет: «Горение и чистоплюйство – несовместимы». К несчастью, пьедесталы нередко случаются не под

стать – главным образом раздражительно высоки, даже мне – и тем самым напоминают знакомые всем подоконники наших парадных подъездов, а сей ущерб интерьера игнорировать не приходится: приходится применяться. Поэтому тот, кто догадывается, чего мне стоили те тактические победы над вертикалями, как болели потом оскорбленные мускулы и зизи и как по-настоящему никогда не выветрится из цепкой обонятельной памяти запах тех нечистот, что кучами оставляют после себя осквернители склепов во всех странах мира, – тот пусть вместе с нами воскликнет: «Да здравствуют зимы, что озонируют воздух, а также возводят Вас, представителя нашей дерзающей молодежи, на котурны коньков!»

И зима наступает.

Утро. На первом, за ночь выпавшем снеге появляются анонимные прокламации, суть которых сводится к самой из них незатейливой: «П. плюс Ш. равняется Л.».

В ответ поступаем не менее математически: ноль внимания. Правда, пролистывая сейчас свои новодевичьи записи, я улавливаю намеки на то, что меня в глубине души нет-нет да коробили, задевали проделки сплетников. В дневниковой заметке от третьего января, лаконичной и хлесткой, читаем: «Ничтожество!» А от четвертого: «Любопытствующее человечество напоминает нам тараканов, питающихся грязной чужого несвежего белья, и с какою-то прямо безгливостью ежеутренне осознаешь, что и сам ты имеешь обличие гомо. И коснувшись себя – так и хочется кинуться в омут спасительного всеочищающего плескалица. Да, собственно, и кидаешься».

А не плачевно ли, к слову сказать, что все старания Брикабракова-опылителя не увенчались успехами? Годами пульверизировал он кремлевские покои и туалеты, но мухи все продолжали жужжать, комары – нудели, клопы – покусывали, а когда, преисполнены мизантропических настроений. Вы устремлялись к пока еще ненаполненной ванне, чтобы наполнить ее, то обнаруживали в ней безобразнейших «прусаков». И Вас начинало не то что подташнивать, а форменным образом рвать.

«Прямо в ванну?» – слышу я голос дотошного летописца.

Увы, дружище, увы. И пусть лекарь Припарко Аркадий Маркелович в своих «Рассуждениях крепостного врача», опубликованных в латиноязычном журнале «Аурора Бореалис», настаивает, будто ранние мокроты (читай, разумеется, – рвоты) мои выделялись на почве глистов, оставим сие безответственное утверждение на совести тех, кто присвоил ему ученую степень. Мальтузианское омерзение к насекомости человечества и к себе, его неотъемлемой части, – вот действительная причина всех наших обратных утренних перистальтик.

Меж тем отношения Ш. и П. развивались неординарно. Мужчины давно привыкли, что женщина поначалу снобирует их притязания единственно для того, чтобы с пушим эффектом вступить в связь впоследствии. Мировая драматургия и синема отполировали этот унылый фарс до блеска общего места, до лоска заерзанных зрительских фалд. Но тем-то и примечательна жизнь, что, игрива и взбалмошна, предлагает нам более исключений, чем правил. Довольно активно отдавшись на первом же, если так можно выразиться, randevу, Ш. по прошествии кое-какого времени стала словно бы сожалеть о соделанном. В один из последующих февралей П. заметил, что Ш. избегает встречаться с ним – поначалу лишь взглядом, а после и личным образом. А если общение оказывалось неизбежным, то все чаще оно отзывалось голой платоникой. Последняя близость в склепе относится к середине марта. Действующие лица – все те же, привычен и антураж, однако П. откровенно неистовствует, а Ш. безучастна, как мумия. Соитие разочаровало обоих. Когда они покидали кладбище, снег сыпал типичной известкой, следы колес и коньков исчезали тотчас, а наступившей весной Ш. так охладела, что относительно гамака не могло быть и речи.

Недоумеая, П. жаждет выяснить отношения, но и это оказывается проблематичным. По вечерам Ш. у себя не бывает, ночами ключ П. не входит в замочную скважину настоятельницы, а точнее – в скважину дверного замка в двери ее кельи, т. к. Ш.,

запершись изнутри на свой, оставляет его в замке до рассвета, а на рассвете ее навещает пить чай заведующая гримборной Ф., типичная молодящаяся пожилуха. Подобных ей дам Вы найдете в домах массажа любого правительства. Все они вроде бы высоконравственны, недоступны, все одеваются разнообразно, крикливо, пестро, только как бы они ни оделись. Вам чудится, что помимо туфель на них – только розовый пеньюар – пеньюар Да и только – подумайте! И разве подобное не выводит из равновесия? не томит? не выбивает Вас из наезженного? не толкает на малообдуманные поступки? С целью вызвать у Ш. чувство ревности и тем воскресить былое, П. решается на один из.

Довольно ярким апрельским утром, в день тезоименитства небезызвестного Ленина – уж так почему-то совпало – П. в разгар чаепития является в опочивальню Ш. и на глазах еще сонной хозяйки откидывает Ф. на софу. Он срывает с гримерши опостылевший пеньюар и явочным, как говорится, порядком овладевает ею.

Обе женщины бурно, хоть совершенно по-разному, переживают эту мимолетную связь: Ш. бьется в глухой бессловесной истерике, Ф. – в экстазе. Финал психодрамы классически зауряден: с горящими на мясистых щеках пощечинами незадачливый интриган выставляется вон. Вопреки его ожиданиям случай в келье нисколько не послужил к воскрешенью былого. Напротив – при встрече Ш. не подаст провинившемуся ни руки.

П. в отчаянии. Он проклинает тот час, когда впервые вошел в ее грезы, овеществив их. Он желает забыть и ее, и свою к ней привязанность. А напрасно. Когда-нибудь, оглянувшись, он осознает, что их взаимоотношения достойны отнюдь не забвения, но всяческого о себе напоминания, ибо были прекрасны во всех нюансах. Впрочем, что значит – были? Ведь: «Истинные взаимоотношения, – набросает П. на каком-то случайном клочке бумаги, вступая в третье тысячелетие от Рождества Христова, – взаимоотношения в лучшем значении слова не прекращаются и за чертой неизбежности, где, по мнению маловеров, кончаются все, даже лучшие, начинанья». И ниже: «Роль, которую в воспитаньи незрелых эмоций моих довелось сыграть сей благочестивой магометанке, огромна и подобна дрожжам: бросьте их куда следует: и зелье забродит». И на обороте того же клочка: «Как наивная барышня из чудесной провинциальной семьи, приехавшая в столицу причаститься шекспировской страсти, – та самая барышня, что с вокзала обольщена артистическим прощелыгой – ничтожнейшим щелкопером – смазливый щеголем – свезена в номера и обманута – ив сумятице закулисных оргий отмстительно сыплет гребенками по все новым подушкам – и тратя остатки скромности – и не чураясь самоновейших позиций – лихорадочно плещется в нечистотах общественных ванн – так и я же: обманут – оставлен – задет в возвышенных чувствах: кипел и безумствовал, юношеествовал и дерзал!» (О молодость, ты ли не отболела!)

Когда какие-то вялые, изможденные голоса негромко, но внятно зовут Вас по имени-отчеству, а на всей перспективе бульвара, как Вам, дальнорозкому, представляется – ни души, не убеждайте себя, что сегодня Вы попросту не в себе, не выспались, утомлены и гонимы, и что, в сущности, то никакие не голоса, а лишь вспорхи и перепархивания пернатых выводков в кронах очаровательно, что там ни говорите, метлообразных и долговязых вязов нашей эмской провинции, а лишь ненавязчивый и бессвязный лепет подземных вод, а только шуршание листопада, падающего дождя или выпавших из плевательниц облигаций казенного золотого займа; не убеждайте. А также не сетуйте на слуховой аппарат и спичками с ватными наконечниками не ковыряйте в ушах, ибо если Вы даже проткнете себе в сердцах барабанные перепонки, то и тогда голоса не угаснут: Вы будете слышать их не ушами, но всем существом, как слышал свои хоралы оглохший Йоханн Себастиан.

Вот, вот – опять. И опять по имени-отчеству: «Палисандр Александрович, а Палисандр Александрович, – отзовитесь!» Да-да, отзовитесь, а то никогда не угаснут и, словно пернатые выводки, станут клевать Вам коленную чашечку Вашего черепа (*Alopécia areata*, милостивый государь, *alopécia areata*) : «Палисандр Александрович, помните? помните? а?»

Будьте же, сударь, мужчиной, каковым Вы претендовали быть в те бесславные залихватские поры – не трепещите. Ведь это не более чем голоса – отголоски тех глоссолалий, истошных сладостраданий, любовных одышек и блудливых речей, которые Вас некогда столь умиляли – Вас, тогда похотливого хохотливого жеребца, а теперь непотребного сентиментального мерина. Словом, внемлите и возражайте: мол, да, я – Палисандр Александрович Дальберг, уважительно прозванный своим благодарным народом Палисандром Прелестным. И это именно я. Прелестный, стою на бульваре, взволнованно опершись на чугунный с брильянтовым набалдашником зонт, что в тысяча пятьсот восьмидесятые годы метнул в своего непослушного недоросля Иван Васильевич Грозный, один из моих кремлевских предтеч. Зонт, а вместе с тем – посох, причем отличнейший: и остер, и увесист. Таким, доведись, не только от сына – от своры собак отобьешься. Простите себе эту горькую самоиронию, но с чем идти по миру. Вы уже обрели. Только не теперь, потерпите. Такое всегда успеется. Нынче – время бестрепетно отозваться взыскующим голосам: дескать, припоминаю, припоминаю, правда, не все и не досконально. Еще бы, еще бы Вы удержали в памяти всех поверивших Вам старушек – из тех, что имели обыкновение гулять аллеями Новодевичьего. И не только; войдя во вкус. Вы позарились и на скорбелиц Ваганькова, и на изысканных, утонченных дам Данилевского колумбария, и на маститых вдов Переделкинского погоста. А после, когда натешились ими. Вас отнюдь не смутило различие вер; повадились на немецкое, греческое, еврейское кладбища, на исконные вотчины прочих национальных меньшинств. Не для Вас, удалого охальника, писаны были сакраментальные тексты.

Впрочем, надо отдать Вам должное, Вы никогда не склоняли к прелюбодеянью насильственно, и взыскующие голоса готовы свидетельствовать о том. Иначе за что бы они обожали Вас – до сих пор – Вас, матерого вертопраха – зачем бы шептали: «А помните, помните?» – о, они! – охмуренные Вами печальницы – набожные божьи коровки – квелые одуванчики – прирученные и покинутые зверушки – и на кого же, подумайте, – и навсегда. Странно мыслить: они уже все не здесь. До единой. Ведь и тогда наиболее молодой – непростительно, непростительно молодой из них – было под шестьдесят. И сначала Вы даже не обратили – почти что не обратили внимания на нее. Почти прошагали мимо. Даже и прошагали. Но, умозрительно приглядевшись, вернулись представиться. Ну, конечно, она была не вполне в Вашем вкусе. Весьма не вполне. Однако ночные охранники с колотушками приступили уже к обязанностям, посетительницы расходились, и выбора практически не оставалось.

Ей всплакнулось над свежей могилой сына, что, судя по эпитафии, был какими-нибудь десятью-одиннадцатью годами Вас старше, и то ли его переехал омнибус, то ль что – всякое, знаете ли, случается. И Вы принялись сочувствовать, начали принимать в ней участие, и дыхание ее участилось. Тогда Вы обволокли ее иллюзией преданности, защекотали щеточками фальшивых усов, усладили мягкими прикосновениями. И не успели еще просохнуть ее материнские, как навернулись слезы желанья, и она закачалась у Вас на бедрах, восхищенно изнемогая от той энергичной участливости, с какой Вы входили в ее обстоятельства. Оренбургский пуховый пеплос, которым на зиму глядя она прикрывала седины свои и плечи, стеснял ее, и она развязала его и отбросила на зубья ограды, и он повис на них, зацепившись.

А когда вы прощались, она целовала Вам руки, упрашивала попустить ей неопытность, неумелость – умоляла не забывать – назначала свидания – дарила что-то на память – как все они, впрочем, как все. Вот именно, в том-то и состояла беда этих разноплеменных доверчивых душ, что несмотря на раскосость, отсутствие волосяного покрова и некую необычность целого ряда черт. Вы обладали каким-то нечеловеческим шармом. Вы были, если хотите, каризматичны. И Брикабраков не врал, что насельницы Новодевичьего почитают Вас душкой, лямуром. Вы были каризматичный лямур, ангел неги, Eros! Вы были, милейший, старушья присуха – смерть. И они, заскорюзлые грустные души в обносках тел, зачарованно поступались честью. Все как одна. Даже и те, что уже и не

понимали, зачем и как это нужно делать. Или – не помнили. Погодите, да многим нечего было и вспоминать. Их-то, ветхих Христовых невест из числа нецелованных бабушек, певших в церковных хорах, и монашек в миру – их Вы могли бы и не приручать, могли не будить им небуженного. Хотя бы из чисто отвлеченного гуманизма. Разве Вы не читали о нем? Или свечение отроческого ночника вправду было неверным? А все эти нищие инвалидки, паралитички, юродивые – то есть, каким же образом Вы, белоручка, брезгливец, ходивший к причастию с собственной ложкой, позволяли себе сношения с ними? А таким, что якшались с указанным контингентом только в особых каучуковых перчатках, соответственно облачая и альтер эго. А органы придыхания – рот и нос – защищались марлей: потомок известного шотландского палача, и сами в известном смысле порядочный изверг. Вы также орудовали зачастую в маске. Среди остальных причиндалов, что постоянно носились с собой в небольшом несессере, не следует упускать из виду склянки с импортным мирром и вазелином, которые Вы использовали в особо запущенных случаях.

Свежа ли, кстати сказать, в Вашей памяти та горбатая и придурошная побируха с задворок Преображенского кладбища, провидица без определенных занятий, которую Вы называли вдовой на выданье и которая вся пропахла подпольем, поскольку жила в нем? Свежа – или тоже заплесневела? Абонируя в сем вертепе угол за ширмой. Вы содержали в нем три-четыре своих выходных наряда для выхода в свет, для сумеречных и ночных походов. Сняв дневное, служебное, и надев вечернее платье, а также парик и приличные туфли, Вы там поистине преображались. Естественно, Вы ничего не платили старухе за беспокойство: она довольствовалась теми минутными радостями, которые Вы ей нет-нет да оказывали на кованом крытом ветошью сундуке, где – как Вы насмехались – хранилось ее приданое. Правда, радости эти оказывались столь велики, что в миг содроганий она не выдерживала и выделялась в астрал – покидала убежище тела. Тело, образно говоря, выдыхало ее из себя и, выдохнув, становилось еще тщедушнее, усыхало. Заметно тускнели и останавливались глаза ее, и выхолощенной напрочь мошонкой свисала грудь. Но самое любопытное происходило с горбом. Он проваливался, западал. Так под ногою охотника западает порою болотная кочка. И когда обитательница водворялась обратно, сложнее всего ей бывало протиснуться именно там. Да и в целом, оставленное на минуту, тело оказывалось бедняге не впору, тесно. Ей приходилось его разминать, разнашивать, по-станиславски вживаться в плоть, как в забытую роль.

Находясь в тех, по-видимому не столь отдаленных местах, куда она отлучалась и которые называла «поля ожидания», горбунья встречалась с умершими, видела то, что будет и было. Что было – Вы знали из тысяч прочитанных мемуаров и летописей не хуже других, и поэтому интересовались лишь будущим, да и то между прочим и вскользь: дескать, будет ли. Отчеты соительницы звучали лукаво и темно, словно Евангелие от Луки. Только в одно из последних преображений Ваших старуха высказалась определеннее, посулив Вам казенный дом, дальнюю дорогу, чужбину, мороку и хлопоты и любовное догробовое томление по малолетней. Все перечисленное, а томление по малолетней в особенности, не вписывалось в Ваши прожекты нимало, и, решив не верить пророчеству. Вы испуганно расхохотались на весь подвал, которым уж начинал попахивать и Ваш реквизит. Бросив его на вечное попеченье вещуньи. Вы справили себе более модный и стали преображаться по новому адресу. Век ее, впрочем, продлился недолго. Случайно встреченная на кладбище внучка соительницы, имевшая на Вас свои тщетные виды, порывисто сообщила, что бабушка окончательно отлетела.

Бедолага Лукерья Кузминична, как-то вам можется там, в пустырях ожидания, произрастает ли в них хоть какая былинка – хоть лопушок – хоть цвет побежалости? Не молчите, подайте весть.

А голоса все отчетливей. Мол, Палисандр Александрович, а Палисандр Александрович, а помните, как вы стали захаживать к нам, вашим многоюродным теткам, и как мы, дескать, доверились обаянию вашего отрочества, и как вы не то чтобы не оправдали доверия, но

как бы превратно истолковали его? А ведь мы. Палисандр Александрович, ждали вас годы и годы.

Вам, должно быть, известно, что в крепость, где вы появились на свет и жили, мы не были вхожи, но вследствие родственных слухов знали, что где-то там, в нам недоступных чертогах, растет способнейший якобы мальчуган – мальчуган-вундеркинд, гений чистой воды, который когда-нибудь вырастет и удосужится навестить своих дальних и как-то не слишком достаточных родственниц. Нет, судьба нас не жаловала излишествами. Периодически мы считали копейки и сетовали друг другу, что вот, мечтаешь на похороны прикопить, да все на лекарства тратишь. Однако, истые институтки, мы вынесли из своих пансионеров любовь к добродетели и девизы: вперед! – выше голову! – не поддаваться унынию! Незамужние сестры, мы двигались разными тропами, но навстречу единой заре. Мы шли, взявшись за руки, и скромность предпочитали бесчестию, чем бы это последнее ни вуалировалось. И пускай мы знакомились с некоторыми из порядочных молодых людей, и некоторые из них производили довольно благоприятное впечатление, – знайте: при этом никто никогда не переступал известной грани, черты, а если и выискивался излишне самонадеянный кавалер, то он немедля получал поделом – немедля!

Но вам, должно быть, также известно, что дни нашей молодости минуются исподволь, словно волны, и как-то вдруг понимаешь, что только несколько теплых очаровательных встреч по-настоящему памятливы, живы, непреходяще волнительны. Словом, вот мы и не заметили, как зачастили на дорогие могилы, навещая почивших подруг. И все чаще мы, сестры, собирались своими неприятительными кружками – вязали, штопали, стряпали, играли на фортепьяно, в лото и вспоминали, как жили прежде. И что бы вы думали? Выходило, что жили мы славно: трудились, мечтали, верили, пестовали идеалы. Мы жили, как все. Палисандр Александрович, и грех нам жаловаться. И мы не любили, когда, возникая на наших девишниках, вы с какой-то такой дедоватой прямо-таки иронией утверждали, что вечно блуждаете в наших головоломных проулках и что наш ностальгический экзистенс элегически затерялся в кривоколенных и староконюшенных подворотнях. Зачем вы так говорили? Нам были обидны уколы ваших иносказаний. Мы жительствовавали вовсе не в этих улицах, а в совершенно иных. В Мещанских, если угодно, в Тверских-Ямских, на Грузинах. Хотя что верно то верно: небось, с непривычки и тут заплутаешь: бедлам. Таблички на зданиях выцвели, дворников рассчитали, рожки повыкрутили, от кошек проходу нет. Купишь, бывало, колбаски, вывесишь к вечеру за окно, а зарею посмотришь – один огузок висит: вот и постись неуручно.

Но лучше бы он совсем потерялся – пусть вовсе бы сгинул, наш экзистенс, – совершенно, чтоб вам. Палисандр Александрович, никогда не найти к нам дороги – чтоб нам никогда не встретиться – не сойтись – не обмолвиться словом. Вы слышите, гадкий мальчишка! Ах, Господи, как вы нарушили нам престарелый покой. Ведь это же просто невероятно: годами – буквально годами – ждешь учтивого, благовоспитанного племянника, сына, может быть, неродного, но незабвенного брата, и вдруг – нате вам: заявляется фанфарон и бретер, фат и циник с замашками ломового извозчика. И наиболее возмутительно то, что вы решительно не желали меняться к лучшему, перенять хороших манер. Так, стоило нам тактично заметить вам, что потому-то и потому-то не следует делать то-то и то-то, положим – качаться на стуле, поскольку портится дорогая вещь, и затем, вы рискуете сверзиться и разможжить себе мозжечок, – как вами овладевали типичные Достоевские бесы – конвульсии. Вы принимались кататься по полу, душераздирающе хрюкали, хохотали, лаяли. А когда мы бросались вызвать карету скорейшей помощи, вы спокойно вставали, отряхивались и заявляли, что все прошло и кареты пока не требуется. Такое фиגлярство! А мы по своей наивности столь опасались за ваше здоровье – не дай Бог что случится: с нас же и спросится, – что слово потом уж боялись вам поперек молвить. А вы стали пользоваться этим в своих интересах, взялись помыкать, командовать нами, покрикивать, вынуждали нас пить спиртное, петь уличного разбору песенки и зазубривать наизусть вульгарнейшие куплеты вашего собственного сочинения, которые вы

беззастенчиво называли пьесами. Никогда не забудутся строки одной из них, самой с виду невинной, а на поверку донельзя уничижающей вкус и достоинство одинокой женщины беспримерной двусмысленностью.

Одинойды один – шел гражданин.

Дважды два – шла одна вдова.

Трижды три – в квартиру вошли.

Четырежды четыре – свет потушили.

Пятью пять – легли на кровать.

Шестью шесть – разделся весь.

Семью семь – раздел ее совсем.

Восьмью восемь – еще его просит.

Девятью девять – приятно ей ведь.

Извините нас. Палисандр Александрович, но здесь нет ни толики вдохновенья – ни толики! Не говоря уж о бледной рифмовке. И если вы вправду прослыли в Кремле вундеркиндом, то, видимо, в некоем ином отношении. Вообразите же, каково было нам, с гимназических пор упивавшимся Надсоном, Гейне, Бальмонтом, зубуривать, а затем декламировать приведенную низость, что вы полагали своею программной пьесой! Причем декламировать с выражением, с подвываниями – ведь вы настаивали на них – настаивали – не отпирайтесь. О, как мы наплакались, исстрадались. Не смея роптать, мы ходили по струнке, иначе вы принимались пощелкивать себя по носу – часто-часто, Палисандр Александрович, часто-часто, словно вы были майнридовский пересмешник, дерзающий передразнить дрозда. Дрозда или барабанщика, отбивающего барабанную трель. И звук пощелкиваний, между прочим, казался пугающе звонок, будто бы вы стучали не по носу, а прямо по перепонкам. То был признак какого-то внутреннего тревобления, грозящего перерасти в неумную бурю и натиск. И мы не смели слушаться, мы не смели. Хотя однажды имели неосторожность поинтересоваться: мол, отчего вы так поступаете.

«Оттого, – отвечали вы, горячась, – что в детстве мне на нос упала гиря от ходиков – а?»

«Бедный малютка! Какое несчастье! Мы ничего об этом не знали, нас не уведомили.

Простите».

«Простите? Мне не в чем винить вас. Ни вас, ни кого бы то ни. Разразилось стихийное бедствие. Перетерлось связующее звено, и распалась привьганая цепь времен. Вот и все. Только ведайте: ваш племяш перенервничал, перетерпел, судьба распорядилась им негуманно. И ведайте также, что с колыбельных лет переносицу ему заменила платиновая пластинка, и вследствие происшедшего он лишен возможности наслаждаться течением Хроноса, тиканьем его адептов – часов, а особенно – ходиков! Всех эпох и конструкций! Ибо он ненавидит – бежит – или же сокрушает их – на бегу!»

И словно громадная кошка, вы кинулись вдоль этажерок с различными статуэтками и хищнически принялись срывать со стен наши чудные антикварные ходики, которые мы буквально годами скупали в комиссионных, коллекционировали и презентовали друг другу на вечную память. Вы срывали, швыряли их на пол и тщательно плющили каблуками своих гренадерских потешных сапог. Вы были немилосердный варвар – вандал, и зубчатые те колесики, милостивый государь, раскатились по вашей милости кто куда.

«Не отчаивайтесь! – кричали мы вам печально, как чайки. – Отныне мы ведаем, ведаем! И мы сожалеем, скорбим вместе с вами».

«Не в силу ли вышеуказанного, – кипятились вы, – не затем ли не смог ваш племяш пойти по стопам своих предков и родственников, стать достойной им сменой, продлить замечательную традицию, но вынужден был подвизаться по классу гробокопания и кремации!»

«Разумеется, Палисандр Александрович, разумеется, в силу. Такая нелепая несправедливость – кремация – ужас!»

«И если вы до сих пор удивляетесь, отчего он так поступает, то знайте: он поступает так потому, что не может не. Ибо это так называемый тик. А поскольку причина данного тика так связана с часовыми приборами, то попросил бы его называть точнее – тик-так».

«Тик-так, Палисандр Александрович, безусловно тик-так, как же иначе».

«Однако весьма заблуждается тот, – всклокотали вы сызнова, – кто считает, что ваш племянник воспитан в духе сиротского эгоцентризма и позволяет себе тик-так в отношении себя единственно».

И тогда, приблизившись, вы вдруг и больно-таки пощелкали тетушек по переносицам их. Только звук оказался не тот, что у вас: был не звонок, не перепончат, будто звучали мы под сурдинку, пиано.

«Ну, а теперь, – приказали вы, – подымите руки, кто читывал петербургскую повесть „Нос“ Гоголь-Моголя».

Мы все подняли руки, хотя нам стало как-то неловко за Николай Васильевича, что вы его несколько походя очернили. Ведь как-никак, а вполне уважаемый автор своих собраний, писал человек, не ленился. Но мы не смели и тут возразить. Палисандр Александрович, просто не смели. И чтобы польстить племяннику, стали и сами вольничать – расхихикались, расшалились, словно бы в классах: дескать, у Николай Васильевича у самого нос был длинный.

«Ха! Только ли нос, дорогие тетушки, только ли нос», – отвечали вы нам, недостойно подмигивая.

Мы зажеманились, засмутились: «Ну что вы, право, конечно же, только. Да мы и не понимаем таких экивоков – ведь правда, девочки?»

«А напрасно, напрасно не понимаете, – наставляли вы. – Ибо не только сказка, но и любая писаная небыллица содержит подспудный подтекст. И поэтому всякое образованное правительство цензурировало и намерено впредь цензурировать вверенных ему графоманов. А то правительство, которое наивно воображает, будто герой петербургской повести майор Ковалев в самом деле остался без носа, есть полное дура. Нос, любезнейшие, – лишь тонкий намек на толстые обстоятельства, эвфемизм-с. Незадачливого майора оставил не нос, а – что-с?»

«Фу, какой вы шалун. Палисандр Александрович! Да ну вас прямо. Давайте мы лучше о Петербурге поговорим, о городе в целом. У нас масса открыток с видами этой Пальмиры. Сядем, будем рассматривать, припоминать имена архитекторов, инженеров, прорабов – да сколько бронзы пошло – да гранита – да извести – да при ком возвели – да зачем – да сколько рабочих погибло – да чаю согреем».

«Э-э, разве это открытки», – взглянули вы искоса.

«Палисандр Александрович, а карты, карты? Пасьянсом так хорошо коротается вечер, что хочется, чтобы он никогда не кончался. Вам знакомо это желанье – не правда ли? – никогда».

«Тоже мне – карты, – надменничали вы, тасуя. – И не скушно вам так-то, с такими, то есть, картинками – а? С тоски удавиться можно. Вот я свои принесу – тогда и разложим».

И на следующий наш сестришник приносите вы такие уж мерзопакости, что мы даже не мыслили, что подобные вещи вообще практикуются. От стыда за этих негодников, в особенности за дам, с нами сделалась удивительная апатия, вялость, и мы просто сидели все тихо рядком и рассматривали. А потом разнервничались, разволновались, вино стали пить, пустились раскладывать, рассуждали, что вот как, оказывается, возможно – и так, и эдак, валет, мол, сбоку, король с припеку, а дама, бедовая ее голова, во все тяжкие: ералаш да и только.

А когда мы уж сами себя не помнили, вы приказали нам поиграть в дочки-матери – помните? Некоторые не послушались, уселись за клавесин да и бренчат себе некую чепуху опереточную, четверти что-то такое на три – жили-де у бабуся веселые гуси, аллегро. А прочие – они стали несколько нянчить друг дружку, словно бы были маленькие, несмышленные. Да мы ведь и были. Мы впали в далекое близкое – в детство. Мы выпали из

ума, из воли. Вернее, вы отняли их у нас. Вы, вы, не отказывайтесь. Недаром – ах, как недаром! – мы находили в вас столько распутинского очарования.

Нянчим, значит, себя, пеленаем, бай-бай укладываем, вы же – присматриваете, наставляете, учите неумех уму-разуму. А раскапризничаемся, напроказим – то ата-та, ата-та нам, а зачастую и в угол. Поначалу-то все из-под палки, исподволь, но после так разыгрались, в этакый раж вошли, прямо куда там. Знать, верно ученые говорят, время все вылечит. А тут и медик как раз стучится: тик-так, тик-так. Пригляделись, а это вы, наш племянник. Только переделались немного: бородку себе приклеили чеховскую, простынку на плечи набросили – чем не врач.

«Вызывали?»

«Тик-так, вызывали».

«Тогда раздевайтесь».

И распеленали для вас, Палисандр Александрович, матери дочерей своих, и раздели дочери матерей, и вы стали их пользоваться. Вставили себе лупу какую-то в глаз и объясняете по-научному: «Будем пальпировать». И давай нас подряд всех пальпировать, то есть прощупывать, у кого что не так. Щупать, в сущности. Мы, конечно, в амбицию: мол, помилуйте, деточка, что же вы это себе позволяете, некрасиво, нелепо, у нас возрастная пропасть: вам рано, а нам, по всей вероятности, поздно. И по рукам, по рукам вас, чтоб впредь неповадно было. А вы говорили, бородкой-то чеховской нас щекоча где не след: «В течение профилактических процедур пациентам категорически воспрещено противиться. Отвлекитесь. Тик-так».

«Тик-так, Палисандр Александрович, тик-так, только трико-то хоть не снимайте».

А вы говорили: «Забудьтесь, считайте, что все понарошку, переходите в нирвану».

И забылись, разнежались, дуры набитые, – перешли. А что вы хотите – щекотно же. Да и любопытно притом – чем дело-то кончится. И не успели мы толком сообразить, что к чему – а оно уж и кончилось. Славную, славную задали вы нам профилактику, милый доктор, уважили, называется, на закате лет: только жилы похрустывали. Вылечить, может быть, и не вылечили, но разделали под орех. Какое уж тут понарошку, когда по всей форме использовали. Да и не один, если вдуматься, раз. И верно ведь вы декларировали, что ежели семью семь, то считай, что полностью: до нитки разоблачили. И восемью восемь точно: впоследствии клянчили все да заискивали: еще бы разочек, а, доктор, еще бы – девятью девять же, чего там греха таить. Правда, насчет шестью шесть вы неверно высчитали, поскольку сами-то – не разделись. Как были при бабочке, так и были: ни дать ни взять – Гиппократ. И даже рецепт на прощанье выписали: «Процедуры практиковать два-три раза в неделю». И лихо так расписались внизу: «Доктор Фрейд».

А потом вы нашли в прихожей на вешалке дирижерский, еще деда нашего, фрак – надели – пришили к лацкану объявление: «Настройка запущенных инструментов» – и направились к тем из нас, которые упражнялись на клавиатуре, наивно себе полагая, будто буря их миновала. Напрасно радовались – досталось умницам на орехи, задали им по концерту для скрипки с хорошим смычком. В такое тремоло их всех чохом вогнали – только держись, все струны внутри дребезжали. Поделом же им, старым авоськам, будут знать, Палисандр Александрович, как от коллектива откальваться. Музыкантам вы тоже толковую памятку прописали – у самых уже дверей: «Инструмент регулярно смазывать. Бах». И только мы вас, вундеркинда, и видели. Ай да пролаза, думаем, ай да ходок. Погодите, да вы же растлили нас – обесчестили – лишили всякой невинности! Немедля вернитесь и попросите прощенья! Вы слышите? Нет, даже не обернется. А ведь годами, годами.

А еще, если помните, где-то в Сокольниках, в Марьиной Роще и на Бегах проживали другие из нас, тоже более или менее многоюродные, кого вы приворожили не на дому, а на кладбище, где мы навещали почивших подруг. И поверите ли, мы тоже ждали годами, априори не чая в вас ослабевшей души, и не чая уже увидеть. Но вы приходили.

Вы возникали обычно в сумерках, перед закрытием, в пору, когда очертанья предметов призрачны, а черты отошедших особенно милостивы и памятливы, – в час, когда наши склонившиеся над их вечным приютом фигуры, украшенные ниспадающей бахромой оренбургских пуховых платков и башкирских шалей, нисколько не отличимы от безутешных, горящих вместе с нами плакучих ив – о, нисколько – и наш старушечий лепет вплетается в лепетанье их листьев и в копошение птиц, что гнездятся в их дуплах, – и черные наши ленты вплетаются в их побеги, в их косы – и наша плоть одевается их заскорузлой корой – и течение нашей крови свивается с холодными струями ивовой живицы, сукровицы – и свиваются наши судьбы и сроки – о нет. Палисандр Александрович, – неотличимы – ничуть. Правда, вы отличали нас, потому что являлись нам в образе палисандра – всегда и беспечно цветущего розами дерева роз – чрезвычайно ладного, гибкого, сладостно веющего благодатью негаснущих вечеров нашей юности – тех томительно будоражащих, знаете, вечеров – предвечерий – предночней, в которые, кажется, недостает только крыльев – лишь оперенья, дабы взлететь – воспарить – взметнуться. Однако в саду есть качели, и можно, зажмурив глаза, воздыматься и падать, и падать и воздыматься. А где-то поодаль играют прелюды, в крокет или просто беседуют, расположившись в плетеных шезлонгах, а на пруду – скрип уключин, плесканье купальщиков, и кто-то прислал вам записку: вас ждут. Но вы, разумеется, никуда не пойдете. Вы влюблены? Нимало. Просто вы замечались улыбочиво, смотрите ласково на облака – те волшебны. И непередаваемо догорает закат. И вот тут-то в цветное стекло веранды ударяется шумный жук! Вы вздрагиваете: майский или июньский? Лукаво не мудрствуя, глянешь на численник и поймешь: если май – значит майский, а если июнь – непременно июньский. Но вечером тридцать первого мая по старому стилю – кто знает: такая неразбериха, сирень. Вы помните, сколько дискуссий на эту тему кипело в кружках дворянской учащейся молодежи, особенно вольноопределяющейся. «Не спорьте, голубчик, это типичный майский». «Неправда, июньский». «А я вас смею уверить, что майский». «Сами вы, братец, майский!» «А вы, а вы!» – и уж непременно стреляться. А экие страсти горели в среде разночинцев, и сколько там было вольнолюбивейших идеалистов, романтиков, незамутненных сердец. Вы помните? – где-то, когда-то, в каком-нибудь неопределенном уезде, когда вы только что поступили на курсы – или закончили их – или приехали на вакации, в доме родителей, кажется, в левом крыле, нанимал квартиру один перманентно всклокоченный телеграфист – страшный щеголь, и это, естественно, он посылал вам записки. Да-да, посылал-посылал, а потом уложился, упаковался – ив Тулу. И мы никогда уж не виделись – никогда. В Тулу, кто бы подумал. Ах, ничего-то вы, сударь, не помните, вас ведь тогда еще не было. Впрочем, являясь нам в образе палисандра, какие живые детали былого умели вы навевать, утешая словами листьев, лобзая губами бутонов и вдруг – утоляя наши печали нектаром пестиков. Но – пробужденье! Оно застигало подобно форменному кошмару – врасплох.

Под утро, когда все чары рассеивались, мы вспоминали, что вот, вечер, перед самым закрытием, вы подошли к нам в обличий мастерового с предложеньем обычных услуг: подновить ли ограду, поправить ли покосившийся крест: «Что, мамаша, потрафим усопшему?» А мы все отказывались, отстранялись: «Нет, нет, благодарствуйте», – а вы все настаивали, приступали: «Потрафим, потрафим», – и, очаровывая, сулили прелестное. «Вам, – говорили вы, – будет приятственно». Честно сказать, вы безумно интриговали нас, молодой тогда человек. Мы поистине млели от любопытства и вместо того, чтобы звать бродивших в окрестностях сторожей, чтобы они колотили вас колотушками, – в ужасе – в каком-то радостном ужасе! – мы соглашались. На – все. И когда это все начиналось и длилось, а длилось оно всю ночь, мы, желая идеализировать ситуацию, предавались иллюзиям, фантазировали: «Мы – ивы, ивы, согбенные ивы, а он – палисандр, палисандр, палисандр, веющий благодатью негаснущих вечеров». И впадая в патетику, отдавались душою и телом. Пылко! Подобострастно. Однако под утро все чары рассеивались, и мы обнаруживали себя в обстоятельствах крайне стеснительных, скомканных, непоправимых.

Нам открывалось, что мы никакие не ивы, а вы – никакое не дерево роз, и пуховые наши платки сиротливым укором висели на так и не выпрямленных крестах и на зубьях так и не выкрашенных никем оградок.

Вглядитесь же! Не на этих ли акмеистских скамейках кладбищенского бульвара, где ныне вы воздвигли себе прижизненный монумент в виде себя самого, оперевшегося на сложенный зонт, – не на этих ли, говорим мы, скамейках вы юношествовали с нами до зеленой зари – с нами, вашими горделивыми тетками, жившими некогда в Театральном проезде, в Старообрядческом переулке и на Собачьей Площадке. О! О такой ли заре мы мечтали, с энтузиазмом мужествуя с непогодой, борясь и шествуя в едином строю. Палисандр Александрович. «А, Палисандр Александрович, – тормозили мы вас. – Проснитесь, это становится невыносимо. У вас омерзительная наследственность: вы всхрапываете, точно дед Григорий – навзрыд. Ничего не скажешь – хорош, хорош, наградил Бог племянничком». Слушайте, да отдаете ли вы себе хоть малейший отчет в происшедшем? Превратно истолковав их доверие, вы совершили массовое растление престарелых. И пусть мы не знаем и не желаем знать, о чем гласят соответствующие статьи уложения о наказаниях, ибо мы не из тех, кто выносит болячки чести на поругание стряпчим, имейте в виду: вам зачтется. Ибо, скрепя сердце, мы все пожалеем мальчика и, конечно, простим, пожурив, потому что мы любим – мы до сих пор обожаем его, сына наших довольно-таки отдаленных, но все-таки родственников. И пускай он не пощадил одинокой старости нашей, он, верно, тоже привязан к теткам. Не правда ли? Хоть немного, по-своему. Так хочется верить. Признайтесь, ведь – да. Так кивните, кивните, подайте нам знак согласия. Непременно должна быть некоторая взаимность. К тому же у вас никого, кроме нас, не осталось; учтите, вы – сирота и нуждаетесь в ласке, в опеке – так навещайте нас, навещайте, право, – мы больше не гневаемся – мы простим – пожалеем – вспомним прежнее – поиграем. Во что-нибудь этакое. «Милый, милый – о, милый», – писали мы вам и плакали прямо на буквы. Ну, что же вы не приходите, бывший мальчик – чугунный старик – безобразник противный: годами, буквально годами. А Клио, о которой вы отзывались не слишком почтительно, уверяя нас, будто ее кобыла стоит на кремлевской конюшне и некоторые учащиеся вашего ремесленного училища келейно используют ее в низменных интересах, – Клио тоже скрепит себе сердце. Ах, музы, музы, все они – наши сестры, горькие и заезженные существа вроде нас – незлобивы, отходчивы. Клио тоже простит. Палисандр Александрович. Простит и остынет. И позабудет. Ручаемся. А Бог даст – и еще возвеличит. Да только вы-то, вы сами – разве забудете? Разве гарпии совести не превратят преклонные ваши дни в сплошные терзанья, а розы – в тернии? Всенепременно, всенепременно, причем уже превращают, зане преклонные дни наступили, и мы – клекот гарпий: зачтется, зачтется – воздается! Признайтесь-ка, кстати, скольких вы совратили, бесчестный оборотень. Доверьтесь, доверьте нам наше число по секрету. Исключительно антер ну – да ну же, честное пенсионерское, мы никому не скажем. Уважьте, польстите старческому любопытству, побудьте хоть раз откровенны, а то – заморочим, не станем давать покою даже ночами, как вы не давали нам. Только вдумайтесь: не только белые дни, но и синие ночи отчаянья! Слышите? Дайте отчет и раскайтесь, иначе мы осеним вас своими крылами.

«Раскаяться? – отвечали вы. – Хоть сто раз, как говаривал мой до боли знакомый. Но ваше число не поддается учету». И продолжали.

Мол, помните Лопе де Вега? Когда-то он был молодежным идиолом. Пьесы этого выдающегося графомана шли на многих столичных театрах, и многие почитали долгом хоть раз причаститься его страстям, в каком бы глухом захолустье ни жительствоваали. Успех драматурга весьма неслучаен. Перу его принадлежит до полутора тысяч скабрзнейших водевилей, а перьям им соблазненных особ – сборник довольно претенциозных писем – по одному от каждой. Со вкусом составил и под броским названьем «*Me gusta de Vega*» («Люблю де Вега» (исп.)) издал этот сборник сам Лопе. И вот, когда мы с его земляком Хуан-Карлосом расставались под гулками сводами Эстасион

дель Ниньо Езус, то все не могли припомнить количества тех посланий. Тогда-то и было заключено пари, известное нам теперь по учебникам как Мадридское, или – что более точно – Вокзальное. Условия его необременительны. Та из высоких договаривающихся сторон, которая, не прибегая к услугам справочников, библиотек и советников, первой вспомнит число составляющих сборник писем, считается стороной, первой вспомнившей упомянутое число, и ей вручаются соответствующие грамоты. Стороне же, вспомнившей упомянутое число второй или вовсе его не вспомнившей, не вручается ничего.

Со стороны испанской плутократической республики соглашение подписали Хуан-Карлос с супругой и сопровождающие их смуглые лица. Со стороны новорожденной российской хронархии – я и сопровождавшие меня Одеялов и Амбарцумян, что пошел в походную кухню и быстро вернулся, неся на подносе цыпленка по-киевски и выпить на посошок. Так в который уж раз мне представился случай удостовериться в деятельной преданности нашего кашевара-на-марше. «Сей не отравит», – подумалось мне и блеснулось хорошей, хотя и кривой, саблезубой ухмылкой. Все выпили, закусили, и в знак приязни мы с королем преломили куриную дужку.

«Берите и помните. Ваша Вечность», – сказал он мне.

«Беру и помню. Ваше Величество», – парировал я.

Тут Хуан подал знак, и господ отъезжающих пригласили в вагоны. Ударили отправленье – раздался «Некрополитанский романс» Чайковского – взвились семафоры – вымпелы – поезд весь передернуло – лица моих людей прикипели к стеклам – вода в моей ванне вскипела – и яйца, яйца, что только что – впрочем, довольно о них – довольно – обрыдли – всю Западную Европу напропалую – яйца да яйца – паки и паки – круче и круче – невероятно – какая-то межеумочная – напролетная – безысходность – будто кто-то неправый, но грубый обрек вас на эти яйца, как на галеры – приговорил к ним пожизненно – приковал – принайтовил – а? Артак Арменакович? Артак Арменакович, в сущности, ни при чем. Он не властен. Он лишь старательный повар. Вернее, слишком старательный. Спору нет, он мог бы, по-видимому, помилосердствовать – снизойти – урезать сроки варения или убавить пламя. Но разве это решение вопроса? Nay! яйца останутся яйцами, если по всей раздираемой противоречиями западноевропейской теснине – по крайности вдоль чугунных ее путей – продают исключительно яйца – да, может быть, соль к ним – да мыло – да лезвия, слава Богу, – да, может, газеты. И все. И обчелся. Сколь унижительно оскудела и полиняла земля, подарившая миру десятки байронов, сотни фуко и – тысячи Геростратов. Не уморительно ли в настоящей связи цитировать сетование Македонского, завязатого книгочея и просветителя: ах, у него, мол, видите ли, библиотека в Александрии сгорела. Уморительно, гражданин Александр. Потому что потом у вас же и в остальных империях в результате все тех же противоречий сгорело всякого барахла на миллиарды драхм: ипподромы и велодромы, кунсткамеры и рейхстаги, мосты и механические мастерские. А уж библиотекам сам черт велел: ведь – папирус. Отвлечитесь от ваших потусторонних забот и взгляните окрест: пепелища. А какая безнравственность, по каким пустякам разгораются эти сыр-боры! Однажды на вечере у принцессы Монако принц Лихтенштейна, имевший с ней ранее более нежели тесные отношения, но освобожденный от них как не справившийся с обязанностями, при всех предлагает ей куртуазный вопрос: «Как вы думаете, если бы мы условились называть свои ноги усобицами, то что в нашем случае мы разумели б под междуусобицами?»

«В вашем, Ваше Высочество, случае, – оскорбилась принцесса, – совсем небольшое». И вдобавок распорядилась немедленно оскопить несчастного. Так разразилась очередная континентальная распря, получившая наименование междуусобной, или – Новой Столетней, поскольку конца ей не видно. И когда отвращение к яйцам переходит последний рубеж, когда мы уже не чаем полакомиться чем-либо помимо оных до самых русских границ, тогда к нам судьба направляет Самсона Максимовича Одеялова с околесицей разнообразнейших яств.

«В чем дело, почтеннейший? – говорил я ему, не слушающимися от вождельня перстами заправляя салфетку за воротник дорожного куртеца.– Вы шутите, мнитесь или навеяли сон? Развейте, развейте, это нехорошо, негуманно, я не желал бы иллюзий. А – специи? Протяните специи. А – приборы? Благодарю вас. Однако, какой Лукулл посылает нам от щедрот все эти кнедлики и шпикачки? Или они – из старых, еще гаитянских запасов? Не я ли вижу турятину и гонобобель со сливками? Но тогда – отчего не прежде? К чему же было томить, испытывать весь поход, его месяцами? Вы что – саботируете? Мешочничаете? Укрываете пищевые продукты от лиц государственной важности? Несolidно, милейший, вы все-таки интендант высокого ранга. Подумайте, что подумает Трибунал Истории. Раскайтесь, молю вас. Зачем говорить своему мешочничеству малодушное да, если можно сказать ему доблестное лейтенантское нет – навязать ближний бой – дать блистательную баталью! Иль вы хотите сказать, что купили данную роскошь на станции, у некоего легендарного Креза? Прекрасно, скажите. Правда, я не могу обещать, что поверю, но я постараюсь – дерзну поверить».

«На станции, Ваша Вечность, – кивнул Одеялов С. М. – У крестьян».

Раздернув оконные шторы, (Всеми своими складками они до странности напоминали мне шторы, задерживающие пасть крематорской механизированной преисподней, дабы пришедшие Вас проводить по смотрели, как остро нуждающиеся кочегары и практиканты от благородных училищ злорадно вытряхивают прифранченного Вас из гроба и грабят; берут одежду и обувь, пенсне и монисто, колье и браслеты, паспорт и зонтик – и вконец обнищавшего, обнаженного швыряют в жар. Одна, как заметил какой-то поэт, но пламенная страсть владеет там равно и человеком, и гражданином. Вас поводит, корбит. Вы корчите из себя живого, пытаетесь приподняться, восстать, но особыми вилами Вас arrogantно придавливают к раскаленным колосникам. Тогда Вы смиряетесь, съезживаетесь, сереете и теплым пеплом тихо сыплетесь между ними в поддон, где и смешиваетесь с останками остальной клиентуры, в частности, бродячих животных, сжигаемых в той же печи по разнарядке вышестоящих организаций. В бытность мою практикантом Центрального Эмского Крематория имени Патриса, Лумумбы я не пользовался привилегиями остро нуждающихся, то есть – не грабил, не раздевал, но прекрасно видел, как ловко и слаженно это делается. Когда-нибудь я с удовольствием поделюсь полученными там впечатлениями, а пока разрешите раздернуть только оконные шторы – шторы окна, имеющего быть окном одного из вагонов идущего на восток состава сугубого назначения.) не тотчас узнал я ее – так она посвежела, так брызнула красками пастбищ и толп: утопически тучная и счастливая Польша, исполненная событиями чисто польского толка, свободно стелила передо мною свои полевые пределы. И подумалось мне тогда о моем старинном приятеле Павле Иоанне Втором, которого я всегда называл просто папа. Подумалось о наших душевных беседах на яхте Жискара д'Эстена с дразнящим названием «Лоллобриджида», что плавно покачивалась когда-то на Лаго Маджоре в виду Локарно. Подумалось и о вере, надежде, любви, о пользе религиозного возрождения в рамках не только общин и сект, но и стран, континентов. И как-то само собою вспомнилось, что знаменитый год, на который первоначально планировался Конец Времен, тысячелетье отсрочки коего широко отмечалось международной общественностью накануне отбытия моего из послания, мистическим образом соответствует сумме писем, составивших «Me gusta de Vega». И туго натянутыми проволоками железнодорожного телеграфа в Мадрид полетела моя зашифрованная депеша Хуану: «Девятьсот девяносто девять».

Не знаю, как мог я запомнить это число: ведь некогда, в мои нововедичьи годы, три де веговские девятки носились в воображеньи всечасно. Три девятки! Никогда не мечтал я о титуле андалузского графа, да и литературная слава Лопе меня не влекла; но лавры, выхлопотанные испанцем на поприще будуарных нег, подстрекали будущего Свидетеля к сплошному дерзанью. Да, я завидовал драматургу. И вы, мои многоюродные ракиты-плакиты, и какие-то просто тетки – чужие, прохожие и проезжие, тетки в уличном,

бытовом осмыслении слова – становились невольными жертвами этой зависти, этой азартной неуспокоенности моей. Три девятки! Что значат в сравнении с ними лишь две девятки Марины Цветаевой, слывшей когда-то кокетливой ветреницей. Не случайно в светелках наших российских скромниц портреты ее давно уступили место иконографии более умудренных, матерых, созвучных времени поэтесс. Не те же ли самые скромницы разовьют переплеты моих мемуаров, раздерут их поглавно и постранично и станут читать и заучивать столь же прилежно, взахлеб, сколь мамы, бабули и прабабули оных зазубривали кумиров своих эпох: мопассанов и миллеров, де садов и арцыбашевых. Я приветствую вас – пухлогубые, нежные, истерично восторженные и ужимчивые! Дерзайте и вы – терзайте – члените – зачитывайте меня до дыр. Не стесняйтесь – делайте свою интимную жизнь с Палисандра Прелестного. Только действуйте осмотрительней. Не забывайте меня под подушками, в ящиках парт и вообще учитесь конспиративным приемам. Возьмем дневники. Почитайте за лучшее не вести их совсем. А если нейдет, если микроб графомании поселился и в вас, то по крайности не увлекайтесь подробностями. Не пишите, что, дескать, вчера необдуманно уступила А., нынче – В., а завтра уж непременно отдамся В. Это худо. Полиция нравов не дремлет. Пускай статистика будет сухой. Проставляйте не имена и не инициалы даже, но палочки, галочки, крестики, нолики, разные закорючки. А будучи спрошены, что означают сии пометы и отчего их так много, скажите: считаю в небе ворон, и вот их много. Сам я использовал такой иероглиф, как запятая. Для лиц с миниатюрным воображением, из каковых, главным образом, состоит вышеназванная полиция, запятая – не более чем невинный знак препинания. Но художник, эстет, интуит иногда заподозрит в ней скрытый смысл. Запятые, которыми испещрял я беленые стены моей монастырской кельи, столь явно (для интуита) символизировали старух, согбенных в плакучем блюде своем, что гривастый иконописец и главный маляр Патриархии Илья Глазунов, по веснам производивший побелку новодевичьих помещений, при виде моих скрижалей смущенно бежал, обронив в коридоре кисть, и никогда не вернулся. Настенная тайнопись была спасена.

А Божественное Провиденье вершилось своими спиралями. Моей девятьсот девяносто девятой, заветной, бабусей становится прихожанка Елоховского собора, старушка набожная и опрятная, поведавшая, что когда-то была она величайшей грешницей. За ненадобностью я забыл, что именно Пелагея Ильинична подразумевала под этим. Била ли она вокзальная девка, то ли просто гулящая, была ли воровкой, обкрадывавшей сыновей своих, или же подвизалась в какой-то мерзейшей партии – не припомню. Сейчас все так спуталось, переплелось. Да и не все ли равно – нам-то с Вами, теперь-то, спустя и спустя, кто кого там обкрадывал или бесчестил, продавал или покупал – там, в старом Эмске или в древних Афинах, в Вавилоне или в Исфагане, в Пенджабе или в Содоме. Сами мы, слава Зевесу, одеты, обуты, накормлены, никого не обманываем, не пытаем. А то, что где-нибудь в Новой Гвиане ввели закон о всеобщем и полном ношении набедренных тряпок или что фривольная земля Калифорния последовала наконец примеру загадочной Атлантиды и почти целиком провалилась в тартар, то тут мы также не властны воздействовать, отменить, помешать произволу. Принципы невмешательства святы и жестки, и наши с Вами манифестации никого не взволнуют. И, пожалуй, единственное, чем мы можем ободриться перед лицом своего исторического бессилия, это факты чистосердечного осознания Пелагеей Ильиничной прошлых грехов ее, раскаяния в них и наступившего вслед за тем благочестия. Оно-то и не позволило сбить Пелагею Ильиничну с панталыку немедленно по знакомству. Точнее – с пути ее в церковь. Наоборот, мне потребовалось идти туда с нею вместе: и чтобы сделать приятное ей, ублажить, задобрить – пришлось раздать на паперти всю карманную мелочь, купить и расставить местами свечи, а после встать самому и выстоять всюнощную напролет, слушая, как Пелагея Ильинична со товарищи выводит что-то пасхальное, и подпевая. А духота была – невозможная. Ведь экие прорвы людей сходились некогда в храмы по праздникам: пели, молились, плакали. Да и теперь еще ходят. Добрый, отзывчивый все же у нас в России народ. Таким народом и

править-то совестно. Впрочем, разве я правлю? Я только свидетельствую, созерцаю. А управляет у нас, как известно, Время, с которого взятки довольно гладки. Хотя, если верить теории Ниппельбаума, оно изумительно вымеобразно.

Лишь утром, когда служба закончилась, уговорил я Пелагею Ильиничну прогуляться со мной ботаническим вертоградом, где приобрел ей различных конфет, шоколаду, а также любимых ее леденцов, в том числе и на палочках. И пока она в забытии их сосала, я также имел свое скромное удовольствие. Совокупление состоялось среди орхидей отдаленной оранжереи, в сплетениях дрока, под сенью цветущей агавы и мандрагоры.

«Грехи наши тяжкие», – угрызала себя Пелагея, напяливая шерстяные рейтузы на помочах. Я сколь мог успокаивал потерпевшую, но мыслилось о другом. «Девятьсот девяносто девять! – праздновал мой тщеславный ум. – Девятьсот девяносто девять!»

Затем мы направились к ней в Колодезный переулок. Весна была ранняя, дружная, и вокруг все блестело от слякоти. Будучи дворником, приятельница моя проживала в дворницкой, где в означенный день состоялась пасхальная вечеринка вскладчину в составе некоторых непримужних и пожилых швей-надомниц, лифтерш, судомоек и прочих на редкость простых, безыскусственных обывательниц околотка. Съев до дюжины куличей и напившись кагору, фиеста, как говорят, взорвалась. Играли, в частности, в фанты. Мне выпал фант покатавать всех по очереди на лифте.

Для пущего интереса мне завязали глаза. Лифт подали. В нем уже ожидала некто, сладко веявшая половой тряпичей. Слово слепой баянист, я нашарил кнопку верхнего этажа и нажал ее. Мы взмыли. По возвращении в цоколь первая некто вышла – вошла другая, отдававшая кухонным полотенцем третьегоднешней стирки. И все повторилось. Дом был в несколько всего этажей, но лифт заедало, и потому всякий раз я успевал за одну поездку проделать именно то, что только и имелось в виду ненасытными, надо сказать, старухами. Живая очередь их клокотала и вздорил. Нет, не скрою: занятие наше отзывалось голым начетничеством и грубой механикой в духе текущего века, зато теперь сумма бабушек, оказавших мне благорасположение, весьма перевалила за тысячу. Так был посрамлен и низложен кумир моего монастырского отрочества Феликс Лопе де Вега Карпио.

После Пасхи похождения продолжались, однако характер они имели уже более спорадический. Немного почив на лаврах и больше не выщарапав на скрижалях ни запятой, я сбился со счета. Поэтому кто теперь знает, любезные тетушки, сколько вас было. Ищи-свищи, говорят, в поле ветра. Да и к чему вам? Не все ли едино в Полях Ожидания. И не все ли вы прах. Милый, чудный, растленный, но – прах. И следовательно – не зовите меня оттуда по имени-отчеству. Не зовите никак. Ибо вас нету. Вы убыли. Я попросил бы принять это обстоятельство к сведению и не позволять себе также выкриков типа «зачтется, воздастся». Откуда вы знаете, может быть, мне давно воздалось. Что знаете вы вообще о пройденной мною жизни и о других, прежних жизнях моих! К тому же, как выражался мой дедоватый дядя, а ваш незабвенный братец, одно растение есть трагедия, тысяча – просто статистика. И поэтому я не страшусь вас. Тем более бледным днем. А когда сонной ночью сквозняк ненароком удушит пламена моего канделябра, то Одеялов немедля придет оживить их – придет, придя. И, бравые полуношники, мы разопьем с ним бутылку конфискованного у гвардейцев белого. За упокой ваших душ! Потому что в значительное отличие от вас я жив и не чурюсь спиртного. Жив эрго вечен. Учтите. И мы пробеседуем с денщиком до зари, до ее цветов побежалости, мастерски отраженных в лужах, в реках, в очах караула и лошадей. И не встречайте, сударыни. И прощайте. За все уж давно заплачено. Слышите? Вплоть до самой зари! До зари включительно, когда на мостах и набережных фонарщики выключают газ!

В последующие недели заядлость, азартное чувство возмездия понемногу меня оставляли. Я остывал, постепенно остепенялся, взрослел. И приходит день, когда П. говорит себе: «Что ты делаешь? Разве так можно? Какая распушенность!» – говорит себе Палисандр. И набросал в дневнике: «Никакая Ш. не достойна того, чтобы ради нее ублажать ей

подобных». И перестал это делать, отдав досуг философским прогулкам, гербарии, акварелям.

Как портретист П. не жаловал мелкие планы – хотелось монументального, броского. Он возлюбил ниспускаться обрывистыми берегами некоторых водоемов к полоскальным сооружениям и создавать групповые портреты прачек, работающих в самых неприятельных позах. Судьбы простонародья с его эстетикой незстетичного, с грубоватыми шутками – волновали всемерно. А как пейзажист – разрабатывал темы осени: мотивы сентябрьских шквалов, октябрьской индевелости и ноябрьского первоснежья, характеризующегося изысканной хрупкостью очертаний и черт. (Смотри Палисандровы залы Пушкинской, Третьяковской, Габсбургской галерей.) Что же до философии, то – как и Плутарха, которого он ставил неизмеримо выше Спинозы, Декарта и Делакруа вместе взятых – его будоражат вопросы морали и нравственности в их экзистенциально-эзотерическом ракурсе.

И все-таки мы бы ошиблись, сказав, будто П. за своими искусствами совершенно оставил мыслить о Ш. Нет, он мыслил о ней, но уже не в угаре отчаяния, а в каком-то почти отвлеченном ключе. То есть не на предмет воскрешенья былого, а в плане удовлетворенья почти инфантильного любопытства: дескать, вот бы узнать, отчего она столь охладела. И если причина ее охлаждения – другой, то вот бы и навести о нем справки: как звать, где живет да служит. И, не ограничиваясь полумерами, воздать по всей строгости. Застать их вдвоем, нанести оскорбление действием, словом, а то и смехом.

Кандидатура на должность частного детектива напрашивалась сама собой – Брикабракков. Мотивировка: пронырлив, вечно в карточных весь долгах, принципами не обременен. Отдавшись ходу безвременья, а точнее – току событий, неделями жду у себя в процедурной. Оле, как назло, не является. Подождав еще, снаряжаюсь, кутаюсь и через все завьюженное подворье гряду в направлении противоположной стены, в казематах которой гнездится семейное общежитие. Воздымаясь по лестнице, круто я воздымаюсь по ней. В коридорах – свидетельства неизжитого критического реализма: на примусах жарится какая-то дрянь, варится нечто рвотное, и, ковыряя в носу, канючат печальные результаты чьих-то зарегистрированных страстей.

Костяшками пальцев стучусь к Брикабракковым. Распахивает опылитель. На нем кашне. По-русски горяч, импульсивен, П. обнимает его. В комнатах пахнет нестираными чулками, подштанниками. Интерьер отвратителен.

Палисандр. Ба, да вы, погляжу я, устроились просто отменно!

Брикабракков (польщенно). Ах, бросьте, дражайший. Вы станете что-нибудь пить?

Палисандр. Что ж, плесните, пожалуй.

Брикабракков. Чего вам?

Палисандр. А что у вас есть?

Брикабракков. Только водка.

Палисандр. Ее и плесните.

Брикабракков. Располагайтесь.

Палисандр (располагаясь). Благодарю.

Брикабракков приносит стаканы, бутылку и наливает.

Палисандр. Ваше!

Брикабракков. Будем здоровы.

Сотрудники пьют и закусывают.

Палисандр. В последнее время читаю немало научных брошюр и журналов.

Брикабракков. Журналов? Похвально. Однако к чему это вам?

Палисандр. С интересом слежу за успехами в области истребления человеческих паразитов.

Брикабракков. Успехи? Возможно ль!

Палисандр. Я тоже не верил, но факты – упрямая вещь.

Брикабракков. Приведите.

Палисандр. В далеком Заире ученые установили, что кошка домашняя, если ее подвести под гипноз, легко начинает питаться – представьте себе – тараканами.

Брикабраков. Правда? Прекрасно. Но кошка домашняя никогда не послужит к уничтожению клопов.

Палисандр. Согласен. Домашние кошки в отличие от большинства их владельцев весьма чистоплотны. Подробней об этом находим у мистера Брема в трудах.

Брикабраков. Что же делать?

Палисандр. Бороться, дерзать, не сдаваться. Приискивать неординарных путей.

Брикабраков. Слишком смело.

Палисандр. Но смелость сулит нам удачу. Вот: в упомянутом выше Заире другая группа ученых взяла и воздействовала на группу коричневых тараканов так, что последняя съела решительно всех ей предложенных лабораторных клопов подчистую.

Брикабраков. Простите, а чем же?

Палисандр. Что – чем же: воздействовала или съела?

Брикабраков. Воздействовала.

Палисандр. Иглоукальванием.

Брикабраков. О-ля-ля!

Палисандр. Усовершенствования африканцев скоро позволят наладить своеобразный круговорот: первые будут уничтожаться вторыми, вторые – третьими. И придет – воссияет на численниках предначертанный день, когда ваших киншасских коллег наградят орденами Подвязки, вам же, друг мой, мизерный дадут пенсион.

Брикабраков (обиженно). Не понимаю, куда вы клоните. Объяснитесь.

Палисандр. Супруга дома?

Брикабраков. На службе.

Палисандр. Клянитесь, что все сказанное останется между нами.

Брикабраков. Слово курьера.

Достав, П. читает составленные им накануне визита тезисы. Если не вслушиваться специально, то в речи его различишь только те выражения и слова, что в читаемом тексте подчеркнуты чем-то красным. Предмет щекотливого свойства. Смущенное чувство пристойности. Увядание нравов. Келейное наведение справок. Застать вдвоем, пристыдить. Так порок оказался б наказан, а я – чрезвычайно признателен.

Закончив читать. Палисандр кладет перед графом какой-то пакет.

Брикабраков. Что это?

Палисандр. Здесь несколько незначительных ассигнаций. В счет погашения предстоящей задолженности. По мере сил. Кто знает, как в свете заирских исследований сложатся ваши меркантильные обстоятельства.

Брикабраков. Вздор. Как бы они ни сложились, я с вас не возьму ни заира. Во-первых, мы – люди чести. Затем, ваше дело мне представляется крайне плевым. А в-третьих, я не хочу, чтобы деньги хоть несколько омрачили нам отношения.

Палисандр. Слышу речь бессребреника.

Сказав так, мой рот исказился в припадке брезгливости, длань моя протянулась к каминным щипцам, и щипцами ловко пакет с ассигнациями схвачен и брошен в огонь.

Брикабраков. Вот славный поступок.

Палисандр. Пусть пепел несостоявшихся ассигнований послужит залогом нам предстоящих удач.

Брикабраков. Пусть!

Картинно обнявшись, мы потрясение – так по последним инструкциям экскурсанты обязаны лицеизреть разгорающийся над Эмском рассвет – смотрели, как пламя доглатывает купюры больших достоинств, и клялись в вечной дружбе. При этом я знал, а Оле ни на йоту не сомневался, что отвергнутые им деньги – насквозь фальшивы, подобно всему, что связывало и разъединяло нас всех в ту эпоху, давно отгалдевшую галками наших

монастырей, крепостей, погостов. Не следует, впрочем, думать, будто я приобрел те кредитки путем махинаций и жульничества, ибо я напечатал их честным трудом.

Покуда всякие зарубежные экономят! от Оуэна до Фурье ломали головы, как обеспечить рабочих и служащих по потребностям их, наше правительство, избегая красивых фраз, оборудовало на некоторых предприятиях небольшие фальшивомонетные дворики, где любой имеющий особое разрешение сотрудник мог отпечатать необходимый ему купюрный фонд. (В ряде торговых организаций и банков такие банкноты не принимали, кокетничали. Да ведь мало ли где чего не берут. Не плакалась ли мне кремлевская гвардия, что в колониальной лавке напротив не принимается стеклотара.) Фальшивомонетный дворик действовал и у нас в Новодевичьем. Он ютился в полуподвале Смоленского собора, в одном помещении с типографией «Вестника», синодального органа. Пересиливая в себе зачарованность механизмами, я, бывало, орудовал их рычагами всю ночь. Напрасно поиздержавшись в попытке оплатить Брикабраккову предстоящие хлопоты, я оказался не при деньгах и спустя известный период после описанной сцены предпринял шаги в направлении типографии.

Стояло так называемое тридцать первое декабря. Небо глядело астрально, да к счастью не пристально,

и месяц едва народился. В типографии застаю кавардак, типичный для мест секуляризации: всюду что-то валяется. Вижу, в частности, кипы уже сброшюрованных индульгенций – заказ Ватикана. Вижу пачки бразильских крузейрос, египетских фунтов, португальских эскудо и прочий экспорт.

Переведя стрелку тумблера с тугриков на рубли, я настроил печать достоинств на сотни, вложил бумаги получше и, как всегда, заработался.

В цех взошел Кербабаев. «Салям, с наступающим», – поздравлял он мемуариста.

«Берды! Дружище! Вот радость! – говорил я ему, говоря. – Присаживайся, сейчас шампанского велю принести, тут и встретим».

«Магометанам не полагается», – отвечал лукавый Берды, обожавший выпить не менее всякого православного сторожа, однако предпочитавший, чтобы его всякий раз уговаривали это сделать.

«Известно, что не положено, – уговаривал я. – Да ведь случай-то редкий, да за компанию. Не одному же мне пить. А с другими, поверишь ли, так уж скучно, что лучше и вовсе не праздновать. Один, один ты мне здесь, Кербабаич, отрада».

К одиннадцати стол в типографии был накрыт. Провожая год, мы пили за все хорошее. Наверху, в приделе, дежурный отшельник долдонил Псалтырь над некстати почившим отцом-привратником Никоном, которого мы не преминули, естественно, помянуть; а через полуотверстную форточку с уже замурованных мразом прудов конькобежная доносилась музыка. Нам было покойно, задумчиво, светлопечально, и тон беседы делался поминутно возвышенной и нездешней.

«Эх, Берды Кербабаич, голубчик, – проникновенно открылся я сторожу. – Знал бы ты, брат, как ценю я твою мамашу».

«Ну и цени себе на здоровье, – отвечал капитан. – Разве кто не велит?»

«Да видишь, сама же, выходит, и не велит. Не дается, прячется. Третьего дня увидел ее возле трапезной – кинулся, добежал, а она как развеялась. Нет ее. Нет и нет. А до этого года два, полагаю, не виделась. И, бывает, сижу себе в келье, и разные, знаешь, мысли одолевают. Может, думаю, что худое с ней – захворала, может, слегла. И брожу иногда в расстройстве – расспрашиваю: Шагане, мол, здорова ли. А монахи: не знаем, о ком говоришь, на тебе, говорят, на самом лица нет; ты ступай-ка теперь помолись да приляг, а завтра в соборе чтоб был, а то ни вечер, ни нынче на службу не заявлялся, смотри, как отец Феррапонт бы не осерчал, он и так уже сомневается: может, не стоит-де Палисандра Приблудного в иноки постригать – зело странный на вид, больно взбалмошный, юрод не юрод, а вроде бы не в себе – мудрит, басурманку какую-то кличет. А я им: пустое глаголете, братие, настоятель ваш, видно; сам не в себе – заговаривается, не его ума дело,

кого окликаю да славлю: ему, Ферапонту, насчет меня высочайшее указание есть – я знаю, мне тут стрелец один сказывал: прискакал, говорит, из Кремля опричник на конике взмыленном, от Малюты Скуратова самого депешу привез: Палисандра, мол, как побочного отпрыска благородных кровей содержать в аккурате, в теле, к работам не принуждать и лелеять примерно, стричь – как сам пожелает, а купается пусть отдельно и вволю. Монахи же: эк тебя, говорят, сироту, дурь-то мает, знобит аж всего, малохольного, и что за время такое нам выпало: от царя до последнего нищего – все припадошные. Вишь ты – не верят, иноверкой корят да еще насмеваются. А я им: пред Богом, братие, все едины и нет Ему ни своих, ни чужих, и никто никому не указ помимо Него, и кого возлюбил я – того и славлю, а не люблю – и не кличу. А? Берды Кербабаич, так ли?»

«Зачем не так, – отвечал он мне. – Взять, к примеру, того же коника. Разный он, коник. Тот породой берет, тот резвостью, а иной в масть пошел. Залюбуешься. А – издохли да полежали в бурьяне, растащили коников шакалики – одни только зубы валяются. И какой они все там породы, где масть да резвость – неясно. Всевышний всех уравниал».

«Плачевно, Берды, плачевно. Выходит, что Бог-то – Он смерть сама есть?»

«Смерти нет», – сказал собеседник.

С надеждой я поглядел на него. Руки сторожа были смуглы, будто обуглены.

«Да полно, неужто нет?»

«Зря болтают. У нас на Востоке старые люди правильно говорят. Мало-мало пожил, мало-мало смотрел – много видел, а смерти не видел: якши (Хорошо (тюрк.)) . А умер, как бы, – совсем не смотрел, совсем ничего не видел: совсем якши». Он говорил не мигая. Он говорил: «Ты ли, я ли, в Аллахе ли, во Христе – возгордились, проштрафились перед Господом, так что даже и смерти нам нет, милоч, – не заслуживаем».

«Дивно, дивно вещаешь! – я возражал. – Вот это я понимаю, вот это по-нашему! Да знаешь ли, Кербабаич, какую ты веру в меня вселил!»

«Наливай», – сказал он спокойно.

Я налил, сияя. Часы колокольной заколотили полночь.

«Да здравствует бытие!» – прозвучал мой тост.

«Вот именно», – подтвердил Кербабаев и выпил, не унижаясь до жестов.

И я восхитился им.

«Едут, едут!» – с губами, обветренными, словно у маремана дальнего плаванья, вбежал Брикабраков.

Завсегдатаям Новодевичьего кладбища издавна примелькалось непримечательное, под черепичной кровлей, строение при южном въезде на Новый двор. Сторонне догадываться, чем служило это строение по преимуществу, было бы безуспешно. Сказать напрямик, то была отнюдь не сторожка, хоть сторож и грел там порою свой ревматический круп. То было и не здание администрации, пусть некоторые служащие элементы и копошились в его кулуарах. Вместе с тем то была и не лавочка мелочной похоронной коммерции, хоть для отвода глаз Вам сбывали там всякую прискорбную мишуру: искусственные растения, саваны, ленты, венки, лопатки для пепла, балетного типа тапочки и т. п. Правда, все это происходило в дневное время. После захода солнца на кладбище наступал комендантский час, лавочка закрывалась и дою начинал выполнять основную функцию – функцию входа на станцию «Новодевичья» нашей совершенно секретной орденоносной ковки. А выход со станции находился на Старом дворе, под сводами реконструированной усыпальницы Александра Первого, чье загадочное исчезновение до сих пор не дает нам покою. Туда-то, в снаружи невзрачный и какой-то почти что призрачный, но изнутри изукрашенный изразцами киоск, мы втроем и направились.

Впереди, припархивая, семенил Брикабраков. За ним воплощением столбняка фигурировал Кербабаев. А – с развевающимися на ветру шнурками, шарфом и лапами кимоно – я логически заключал процессию. Кимоно было новым и зимним, и зимний и новый с иголочки ниспадал на подворье год. Тропы, которыми мы пробирались, вились. И змеилась, обуживая их, поземка.

Войдя в павильон, мы спустились особой лестницей на платформу и сдержанно поздоровались с некоторыми доезжачими, что уже ожидали там поезда. Позументы их ментиков, козырьки киверов, рельсы конки и фонари излучали золото. Все нервничали и зевали. Шум, который сначала казался лишь разнообразностью тишины, – нарастал.

С разухабистым «Хором Охотников» из бессмертного сочинения Шарля Гуно, с лаем псов, с бубенцами, с бренчаньем сбруй, со скрипом ржавых колес, скрипкой Ойстраха, с криками «с новым счастьем!» и с прочими атрибутами новогодней охоты из жерла тоннеля выдвинулись вагонетки. Из них, увешанные амуницией, выходили сенаторы Брежнев и Суслов, Пономарев и Косыгин, Шелепин и Мазуров, Подгорный и Георгадзе, гончие и борзые.

С горьковатой ухмылкой ссыльного я ловлю себя вдруг на том, что глазами ищу в толпе приехавших человека, которого явно в ней не хватает, но быть – не может. Пораженный в гражданских правах, он давно уж сюда не ездит, поскольку живет здесь безвыездно, не считая негласных отлучек по баннным и другим интимного свойства делам. «Узурпаторы, – думает он о приехавших. – Притеснители». И гонимый сознанием собственной ущемленности, поворачивается и лишает их своего приятного общества. И, опально лелея обиду, ревниво вслушиваясь в отголоски кладбищенской заячьей травли, бродит древней стеной и гремит ключевыми болванками. Колокольчатый лай собак отзывался девичьим смехом, дразнящим и вздорным.

В час, в начале второго от застав к торговым рядам потянулись нордические обозы с семгой, икрой, капустой и новыми Ломоносовыми. А в третьем, когда закатился Антекатин, рога возвестили отбой, и, делясь впечатлениями, охотники зашагали в трапезную.

Я возвратился в келью. Я тщательно вычистил зубы. Я причесался, прочел «Отче наш» и хотел было кликнуть кого-нибудь из прислуги, чтобы наполнили ванну, как – в который уж в рамках настоящих записок раз – в дверь мою постучали.

«Смелее!» – отозвался я Брикабраккову, ибо это опять был он.

«Что подельваете?» – возник Оле.

«Перехожу в Рубикон плескалища».

«Повремените».

«А что – разве я кому-нибудь еще нужен?»

«Не скромничайте. Палисандр. Вы – всеобщий любимчик. Вас нынче хватились и обыскались. Все правительство хором кричало ау».

«Оставьте, пожалуйста: я постоянно был в парке, но никакого ау не слышал. Вы вновь сочиняете. Я – отвержен, сослан, забыт. Лай собак – это все, что я слышал».

«Каких собак? Мы ведь охотились на летучек. И, кстати, опять недурно. Отменный сезон. Право, жаль, что вас не было с нами. Невероятно жирны. Да и в целом весна что требуется: ручьи, букашки. Впрочем, пора уже действовать. Ежели чувство пристойности в вас еще смущено, то имею открыться в прозрении. То, что вы называете увяданием нравов, нынче проявится в вящей мере, и буде угодно вам наказать порок, возможность к тому представится».

Я обулся. При этом впервые за годы и годы я не прибегнул к услугам сапожного моего рожка, висевшего на гвозде под притолокой. Минуя сарай, у которого зимами регулярно рубили дрова, мы с Оле зашли под навес, где они содержались. Брикабракков рассеял ближайший мрак серной спичкой, и я, покопавшись в груде какого-то барахла, извлек один из тех инструментов, на коих имели обыкновение разгораться иные утра. Решительно отрешен, я заткнул рукоять за пояс своего стихаря и подумал: не мир, но меч. Биограф! Доподлинно воссоздавая картину нашего с опылителем похождения, не считите за труд описать, как догоревшая спичка – как именно! – выпала из руки его и упала, шипя, на грунт. Срок горения был ничтожен, но тем драгоценнее были его мгновения. Берегите же пламя – свое и чужое: творите убористей. Пусть описание остальных событий той ночи можно будет прочесть при свете единственной, может стать последней, спички. В свете

моей аскетической рекомендации разрешите запротоколировать походжение в форме скупого оперного либретто.

Акт первый. Зарницы. Подворье. Из трапезной, окна которой выходят на галерею, освещены и распахнуты, слышится гомон охотничьей тарантеллы. Ее сменяет песня восточного толка в исполнении разбитных народных певичек Зыкиной и Пугачевой. Затем начинается беззастенчивый танец чрева Улановой и Плисецкой, который плясуньи выделывают непосредственно на столе. Маскарад рукоплещет и площадно комментирует стати правительственных куртизанок. Граф Брикабракофф и Палисандр, незримо стоящие на галерее, внимательно наблюдают за костюмированной вакханалией, постепенно переходящей в типичную оргию. Некто, загримированный под Казанову, покидает трапезную. Многозначительным жестом граф побуждает будущего Свидетеля проследовать за ушедшим.

Акт второй. Коридор монастырской гостиницы, нищенски освещенный одною свечой. Оглядываясь, коридором идет «Казанова». Он исчезает за дверью какого-то номера. Из-за портьеры являются Палисандр и граф Брикабракофф. Они останавливаются перед той же дверью. Граф предлагает Дальбергу наклониться и посмотреть в замочную скважину. Воспитанный в лучших традициях ремесленного училища. Палисандр отказывается. Брикабраков цинично хохочет. «Если вы не посмотрите, – подстрекает граф, – порок никогда не будет наказан». Снедаем внутренними противоречиями, Палисандр наклоняется.

Акт третий. Номер монастырской гостиницы, видимый Палисандром через замочную скважину: главным образом – койка. На койке навзничь лежит обнаженный уже «Казакова». А некто в облике римской волчицы Акки, подруги рогатого Фавстула, осуществляет массаж. Постепенно из затемнения пружинисто восстает зизи «Казановы», и лоно «волчицы» приемлет его в себя. Символизируя откровенный упадок нравственности, маска спадает с лица массажистки: юный П. узнает в ней неверную себе Ш. Не в силах будучи оторваться от разыгравшейся в номере сцены, П. ревниво нащупывает похищенный инструмент, желая выломать дверь и сломать лед взаимонепонимания. Но тут, пробившись сквозь тучи и тюль, луч все той же луны ложится на затененный прежде лик карнавального «Казаковы»: то Местоблюстителю Б.

Акт четвертый. Уронив топор, П. поет *arioso finale*.

«Брежнев, Брежнев!» – жужжа, громоздилось в моем мозгу имя Местоблюстителя, пока я бездарно бежал коридором злачной гостиницы, оставляя поле несостоявшейся брани. Так вот почему, – запоздало сопоставлял я факты, – вот почему, – не без некоторого мазохизма муссировал я свой вывод, израненно рея среди деревьев, – вот почему, – возвращался я к этой неконструктивной и ничуть не спасительной мысли, утрачивая себя в ином измерении, – вот почему Ш. зачитывалась его мемуарами, – говорил я себе, глядя, как наступает и все никак не наступит утро. А позже, походкою выхуоли мечась по келье, говорил опылителю:

«Преподайте урок. Низложите покровы. Увы, я готов согласиться, что все мы, включая власть предержавших, суть лишь люди с их слабостями. И я вынужден допустить, хоть и делаю это весь как-то сжавшись, – я допускаю возможность известных увеселений – увеселительных встреч – вечеринок – нескромных настольных канканов. Я даже могу сквозь пальцы зреть беспардонности, творимые нашими служащими в бассейнах и ваннах. Но на которую полку сознания мне списать со счетов тот факт, что семейный деятель государственного аппарата, один из немногих поистине чтимых мною кремлян, позволяет себе подобное с официальным лицом, с передовой массажисткой Дома. И не где-нибудь, а в его пределах, выказывая тем самым элементарное неуважение к зданию пусть и расформированного, но все же монастыря, к его памяти, покушаясь на его новодевичью честь. Я знаю, знаю, формально мадам Хомейни считается личной знахаркой Леонида, и все-таки это мало что объясняет и ничего – ничего! – не оправдывает».

Я говорил еще долго. Когда моя речь иссякла, Оле сказал, что ему неловко, но он полагает своей профессиональной обязанностью поставить меня в известность, что дом, в котором нам с ним посчастливилось сослужить, есть Дом Массажа лишь в некотором, вспомогательном смысле. По сути же это не что иное, как дом свиданий, где руководство Кремля находит необходимым встречаться не только друг с другом и не только для обсуждения очередных неотложных мер по внедрению войск в неохваченные еще районы земшара, но встречаться также и с теми, кого мы зовем «прихожанками» и «послушницами» на предмет обладания ими и отдыха в их непринужденном кругу. «Неужели вы не догадывались об этом?» – спросил Оле.

«Не скрою, – сказал я ему. – Иногда мне казалось, что я начинаю догадываться. Но я никогда не решался поверить в свою догадку. Вместо этого я мгновенно впадал в какое-то помутнение, вставал в позу страуса и надевал моральные шоры. А если случайно видел или слышал нечто дурное, то тотчас старался забыть. Характерно: когда по прибытии моем в монастырь З. – вы знаете метрдотеля З.? конечно, вы знаете всех – когда он меня информировал о предосудительном прошлом Ш., я воспринял слова его как недоброкачественную ресторанный сплетню».

«Что не мешало использовать приобретенную информацию в ходе любовных игр, – заметил мне внутренний голос. – Не вы ли питали ею свое прожорливое половое воображение».

«Отстаньте!» – внутренне сказал я ему. И продолжал Брикабраккову вслух: «Да-да, у меня невероятно консервативные взгляды на все эти вещи. Хотя, если судить по некоторым из моих экстравагантных поступков, такого не скажешь. Однако поступки со взглядами согласуются разве что у какого-нибудь неандертальского простака наподобье Громыко, нашего горе-министра. А я-то организован слегка сложнее».

«Вы излишне витаєте в облацах, – указал опылитель. – Вам нужно всмотреться в действительность обстоятельней, не чураясь замочных скважин. Подумайте, я ведь тоже не из простого сословия, а куда как приметлив. А вы со своей часовщицкой щепетильностью – просто олух Царя Небесного».

Я был до того удивлен и сконфужен брикабракковскими откровениями, что чувство обиды казалось мне неуместным; и я отложил его до следующих времен. В то же ненаступавшее утро, за кофеем, поданным коридорным расстригой в ливрее цвета коровьей жвачки, Оле поведал мне историю основания нашего Дома. Блюдя хронологию как зеницу ока, я изложил эту повесть прежде. А здесь остается добавить лишь следующее.

Будучи обходительно спрошен, не полагает ли он, что его Жижи при всей незапятнанности своей репутации втайне служит одним из секторов принужденного круга, Оле, изумленный моею наивностью, отвечал мне, что, дескать, не полагает, поскольку знает это наверное – знает о всех ее высокопоставленных покровителях, осведомлен об ее с ними съансах в мельчайших подробностях, ибо она ничего от него не скрывает, отчего ему и соглядатайствовать за ней нету нужды. Лишь изредка заглянет он мимоходом в массажное ателье супруги – так, в порядке контроля. «Она сообщает мне абсолютно все, – подчеркнул Оле, беззаботно кладя ногу на ногу. – Начиная от мужеспособности покровителей и кончая параметрами их органов. Кстати, в тот незапамятный вечер, когда вы пришли к нам домой и мы рассуждали о тараканах, Жижи обслуживала Фиделя».

«Какого Фиделя?»

«Что значит – какого? Из всех на свете Фиделей в сей Дом вхож единственный – вива Куба! – патрия о муэрте! – Сьерра Маэстра! – ну, вспомнили? Кастро же, Кастро».

«Впервые слышу, – ответил я холодно. – Фамилия, впрочем, скабрешнейшая».

«Пожалуй, только в постели он ее отнюдь не оправдывает. Такой, Жижи говорит, неумный, что спасу нет».

«Возможно, возможно», – сказал я как можно рассеяней и оттопырил губу.

«Э, да никак вы ревнуете! – расхохотался граф.– Перестаньте, братец, что это за пережитки еще, не годится, не та эпоха. Спешу вас, однако, утешить. Фидель по сравнению с вами – ниньо, дитя. Вам, батенька, попросту пары нет в данной сфере».

«По-моему, вы забываетесь, граф».

«Ах, нет же, я точно помню: Жижи исключительно высоко оценила ваши мужские благополучия. Да и сам я неплохо видел, как бурно все протекало тогда у вас в Рубиконе». Я потупился. «К чему же вы столь облыжно винили меня в Онане?» (Теперь, вороша свои дневниковые и мемуарные записи, я сознаю, что граф все-таки забывался. Мой коитус с Жижи, на который Оле недвусмысленно намекает, состоялся вскоре после самоубийства Лаврентия: мы же беседуем явно до этого происшествия. Так что забывчивость Брикабракова, равно и мое соучастие в ней, можно смело определить как типичное воспоминанье о будущем. Подобные воспоминания посещают нас много чаще, чем принято думать. Точнее, настолько часто, что мы научились их забывать задолго до посещения, заблаговременно.)

«О Господи, Палисандр, вы нимало не понимаете шуток. То был обыкновенный розыгрыш, фарс. Видите ли,– объяснял опылитель,– мы с супругой прочли некролог накануне вечером – в той самой газете, которую я вам оставил. И, прочтя, стали думать, как быть. Как бы так сделать, чтоб известить вас и сразу смягчить известие, подсластить, так сказать, пилюлю. И вот мы решили, что я пойду в процедурную и оставлю газету на канаве. А затем, подождав, покуда вы ознакомитесь с новостью и начнете переживать, к вам заглянет Жижи и попытается вас от переживаний отвлечь. И знаете, она оказалась в смешном положении бедного, званного на тезоименитство к богатому. Что подарить виновнику торжества, который ни в чем не нуждается, у которого есть практически все. Как – иными словами – развлечь огорченного вас, который и без того пребывает всегда в какой-то прострации? Ответ однозначен: отдаться. Затея, если вы обратили внимание, удалась хоть куда. А пока она удавалась, я действовал по своим каналам: стучался, уличал в онанизме, грозил пожаловаться. Тоже, в общем-то, развлекал. Посильно».

Я посмотрел на него. Брикабраковское лицо по-прежнему было не чем иным, как лицом Брикабракова: я узнал его без труда. С другой стороны, опылитель что-то определенно носил, и предметы одежды, надетые на него в определенном порядке, в определенной последовательности, так или иначе сочетаясь друг с другом, сидели на нем с той степенью плотности, аккуратности – или с другой. Выражаясь же более четко, ясно, общедоступно, говоря языком телеграфа,– граф был одет. Итого, в моем собеседнике – даже если бы мы дополнили его портрет чертами характера, описанием привычек, ужимок, манер и сведениями, почерпнутыми из его ресторанных счетов,– не было ничего необычного, ничего такого, на чем бы особенно хотелось остановиться пером или взглядом; как не было и такого, на чем бы особенно не хотелось. И тем не менее мне сделалось странно: о каком таком некрологе он помянул? Но не желая услышать еще какое-нибудь малоприятное откровение, я не стал ничего выяснять: мало ль кто в наши дни умирает. (А неделями позже, когда, сидя в ванне и безучастно владея графиней, я вчитывался в некролог по Лаврентию, просматривал прочие объявления и скандалил с Оле, со мною сделалось дежавю. Возникло чувство, что все это некогда уж со мною случалось – в сей жизни или предшествующей. Или случится в последующей.)

В бойницах забрезжило.

«Я,– сказал я тогда Оле,– я посмел бы задать вопрос, который, быть может, покажется вам тоже наивным и праздным. Однако я должен его задать. Для очистки совести».

«Выкладывайте,– потягиваясь отвечал Брикабраков.– Какие еще там очистки».

«Скажите, значит, вы – не в претензии?»

Брови его удивились.

«Ну, все-таки, как-никак, а известным образом я имел необыкновенье – неловкость – и, разумеется, честь – прибегнуть к услугам вашей жены. И пускай сей сеанс был с ее стороны актом чистого милосердия, доброй воли или, как вы утверждаете, фарса, я тем не

мене не могу не испытывать угрызений. А если даже могу, то случившееся все равно накладывает на меня определенные обязательства. Мне представляется, ни для кого не было бы ничего зазорного, если бы я получил возможность так или иначе компенсировать нанесенный ущерб, оказать пострадавшей семье посильное вспомоществование – как вы мыслите? Или, быть может, вы, граф, почтете за лучшее вызвать меня к барьеру? Тогда не стесняйтесь, зовите. Хорошие отношения не должны препятствовать их выяснению – пусть и методом от противного: способом пули или клинка. Дружба дружбой, дуэль – дуэлью. Прошу вас, я не обижусь».

«Милейший, вы меня умиляете, – захихикал граф. – Ваш вопрос исключительно празден. Поймите, я – западный, эмансипированный человек, человек посторонней формации. Я вырос и возмужал в Париже».

«О, Париж!» – завистливо задохнулся расстрига, зашедший плеснуть нам горячего кофе. Сказав так и сделав свое небольшое, но нужное дело, слуга удалился.

«Когда вам случится поехать в ту сторону, – продолжал Оле, – вы увидите, что на Западе все обстоит по-иному. Свобода, друг мой, свобода не только выкриков, но также – и прежде всего – любви».

«Стало быть, классовые потасовки прошумели там не вотще?»

«Конечно! – Граф встал. Ностальгически запорхал он по комнате. – Буржуазно-демократические завоевания велики. Укажу, например, на открытые браки. Браки втроем, вчетвером. Процветает любовь групповая. Любовь однополая. Покупная. Любовь к животным. И все это узаконено, вправлено в конституции. Все в порядке вещей. А уж верить супругу или даму сердца в руки здоровому молодому мосью – что ж в том худого, подумайте. О каких претензиях может быть речь! Что за варварство, честное слово. Нет, право, не умиляйте».

Увещевания Брикабракова возымели на автора строк то благое влияние, что несмотря на дюжину выпитых на двоих джезвеек крепчайшей турецкой бурды, он по уходе графа лег спать и залпом проспал до самого послезавтра.

Сон праведника освежил меня. Отдохнув, я решил начать совершенно новую жизнь – жить набело, без предрассудков, на западный коленкор. Только в невыгодное отличие от Оле я вырос и возмужал не в Париже, и – наверное лишь поэтому – мне не доставало нравственной закаленности. Пристальный взгляд какой-то – первой по коридору – замочной скважины свел решимость дерзающего лица к нулю. Сцена в гостиничном номере, виденная позавчера, предстала в ретроспективном ракурсе. И приступ ревности – застарелой – знобящей – вынудил прислониться к простенку и медленно нисползти на пол. Мне сделалось дурно. Краски чела поблекли. И несколько человек отнесло меня на диван. Вызванный из Кремля Аркадий Маркелович прописал пивявки. Уязвленный ими, я подал петицию в соответствующий департамент. Дело А. М. Припарко пришлось очень кстати: его подверстали к процессу врачей-вредителей. Выездные суды процесса гастролировали той весною по филармониям, коллизеям и колонным залам с большим успехом. Всего к заключению определили около семисот человеко-лет. К чести Припарко замечу, что он во всем и сразу сознался, был осужден, но вскоре его, к сожалению, реабилитировали. По возвращении из мест изоляции эскулап принял за старое. В том числе и за свои мемуары.

Тем временем приступы ревности продолжались. Прибегнув к самостоятельному психоанализу, я счел наиболее эффективным средством против нее – долгосрочные теплые ванны, которые, правда, я применял и прежде и применять намерен всегда как истинную и единственную панацею от всех напастей. В одной-то из этих ванн и обрел меня Юрий Владимирович Андропов. Обрел – и отвез в сандуновские термы. Было это лишь несколько сотен страниц нашей рукописи тому, а кажется – миновали столетья.

Вволю глотнув голубого вечернего воздуха, я захлопываю фрамугу окна и поворачиваюсь к Андропову. И долго мы всматриваемся друг в друга при свете кварцевых люстр.

Он сидит на краю водоема, я – стою на другом. Я в пижаме, а Юрий в шлафроке. На голове у меня – ничего, а полковник сдержал обещанье: надел чепец. Юрий видит во мне простого, искреннего, но далеко не глупого сироту и подспудно любит абрисом торса его и отброшенной на стену тенью профиля, что – я верю – украсит фронтиспис данных набросков. «Как он взволнован, – думает обо мне Андропов, – как дерзновен». Враг бессмысленной лести, последовательно нелюбезен и прям, я вынужден констатировать следующее. Глядя на Юрия, я во внешнем его облике не люблю ничем. «Ну, так как же? – Голос Андропова отдается в аркадах и портиках, изоощренно украсивших сандуновскую цитадель чистоты. – Приступим?»

Хладнокровен, как бестия, думаю я о Юрии. Разве можно так выражаться: приступим! Экий цинизм. Впрочем, как по-иному? Сказать: облагрим наши руки кровью невинной жертвы? Вздор. Слишком высокопарно, помпезно. Заявить ли: давай-ка, брат, совершим преднамеренное убийство, убьем по первому, мол, разряду? Совсем чепуха. По разрядам ведь парят, а не убивают. К тому же мы и не собираемся убивать. Хорошо ли убить человека почти ни за что. Точнее, за то лишь, что он кому-то мешает, не нравится или удерживает лакомый пост? Да и за что вообще – хорошо? Есть ли нечто такое, за что действительно следовало бы и было бы не прискорбно выдворить кого бы то ни было в никуда – в насовсем – где неясно что – неясно и тускло. И потом возникает вопрос о праве, о юрисдикции, юриспруденции. На каком, как выразился бы старик Плевако (Известный древнерусский юрист), если бы удостоил нас консультации, на каком таком основании собрались вы убивать? Словно бы уголовное право рассматривает целый свод положений, на основании коих можно бы на худой конец и убить. Словно бы наличествует такой документ в принципе – уголовное право, куда записаны все права и обязанности тех, кто, встав на тропу преступлений, поставил себя вне общества. Ладно, а казнь? – спросили бы мы у Плевако. – Имеет ли право на существование – казнь? А казнь, отозвался бы он, имеет. Поскольку она оформляется юридически, в присутствии адвоката, присяжных свидетелей, с приложением всех требующихся бумаг и печатей на них. А у вас ничего не оформлено. Вы не дали себе труда завести даже папки для дела, не говоря уж о делопроизводителе. И следовательно, вы намерены не казнить, а причинить незаконное умерщвление. Нет-нет, господин Плевако, мы ничего не намерены – никого. Мы зашли пошутить, покалякать. Всего замечательного. Вечная вам мемория. Невероятно – убить дядю Леню! Какая химера – бред! Не кого-нибудь, не какого-нибудь беспутного Карамазова или, как верно подмечено литературной критикой, никому не нужную старуху-процентщицу, и как раз дядю Леню. Понятно, тот тоже немолод и в строгом смысле несколько не Аполлон: костяком неказист, непородист, а в последние годы и вовсе сдал – обрюхател, облез. Только – что нужды! Дух-то в нем пребывает бодр. Да и разве не этот так называемый джентльменский набор добродетелей испокон снискал себе безграничное уважение и ревностное поклонение обыденного народа. Не они ли считаются признаками действительной умудренности, семейной уравновешенности, солидности общественного положения и являются непреложными качествами столпов, покровителей и отцов нашей нации, равно как и национальных героев Японии сумо – бойцов животами. Не па этих ли добродетелях и замешан тот базис, который со дней Гороха, царя и организатора государства российского, удерживает всю надстройку. Убить дядю Леню! Его, который, бывало, кричал еще издали – собирайся, мол, едем, а в конке шумел, рассказывал уморительные военные анекдоты, что позже легли в основание его эпохальных книг, а когда мелькал последний фонарь, тоннель кончался и мы въезжали на станцию, он, дядя же Леня, первый – еще на ходу – выскакивал из вагона и бежал навстречу Берды, восклицая: «Ну, что, прилетели твои летучки?» И начиналась охота. И не мастерски ли палил дядя Леня навскидку – в угон – дуплетом. Не быстро ли умел развести походный костер, зажарить на вертеле пару дюжин пролетных парных ушанов, кожанов, летучих собак покрупнее – раздать их голодным товарищам, и не сам ли при этом довольствовался какой-нибудь малой косточкой, крылышком, обсасывал хudosочную лапку. Забыть ли наши

привалы! Немыслимо. Чем темней становилась ночь, тем лучше она рифмовалась с дочерью, тем ярче рдели в ней головешки, тем истовее ворковали на Лужниковском болоте жабы и явственней копошились в травах кроты, поедая опавшую волчью ягоду. Изредка с низким минорным гимном скорбному своему труду пролетал над могилами крупный светляк, известный в энтомологии под именем Гробокопатель. О, как уютно было лежать у костра под ватным, беззвездным небом и, покусывая соломинку, мыслить сонетами, главами будущих эпопей, ждать всемирной известности или потопа. А если на небе проступала звездная сыпь, недуг мой разыгрывался, и я подсаживался к дяде Лене – прижаться. Слушая взрослые разговоры о международной политике или старинные пионерские песни, что пелись нашим правительством на всяком бивуаке, я тихо задремывал у Брежнева на груди, под полою его боевой, заслуженной плащ-палатки. И после этого, после всего остального, чем нежно связала нас с ним непростая кремлевская дружба, мне в обмен на какие-то эфемерные зарубежные блага предложено – нет, я, наверное, недопонял, ослышался – о, конечно, само собой разумеется, Леонид, как ни жаль, должен быть сурово наказан. Пусть даже розгами, шомполами. Хотя – за что же? Я ведь не знаю состава его преступления. Мне говорят лишь – есть мнение: надо убрать. Чье? Кто судьи? Часовщики? Я сам часовщик, но у меня далеко не такое мнение. С другой стороны, просвещенный кремлянин обязан быть толерантен, терпим к чужому. И, абстрагируясь от соображений дружбы, я готов допустить, что Брежнев достоин самой жестокой участи, и решение нашей организации бесповоротно. Пусть так. Но пускай эта кара вершится другими руками. Своих я не обагру. Увольте. Вы слышите? Без меня!

Терзания мои были столь велики, что я даже осунулся. И собрался уже воскричать дяде Юре свое наотрезное нет, как вошли с сообщением, что в парном департаменте пар опять достигает высоких кондиций, и если угодно еще раз попариться, то добро пожаловать. Сделать это имело смысл во всяком случае. Мы направились. Однако в каком-то из переходов мне ернически подмигнула замочная скважина запасного выхода. Горло сдавило. Я привалился к Андропову и медленно уронил свое тело на руки сопровождавших лиц.

«Немедленно в ванну», – рекомендовал я, хрипя. И, тихо плавая в ней, словно в бухте – полупотопленный бриг, я слышал свои слова, обращенные к Юрию: «Вы, сидящий возле плескалица хворого ревностью ГГ., – ревностью, что свела ему челюсти, перехватила дыхание и перекроила весь быт, ведайте: он родился на свет творить не преступные злодеяния, но справедливость истории. И не убийство он совершит, но – казнь! Вы же оформите все юридически и представите надлежащие справки». И, услышав, с каким выражением сказаны были мои слова, я поразился, насколько мне все-таки недоставало еще западноевропейского лоска, терпимости, уменья красиво и с честью вверить любимую даму другому мосье. Зато с избытком был наделен я зрительной памятью, и коитус в гостиничном номере повторялся в моем умозрении со всеми интимными вывертами его, во всех нюансах. Но ужаснее и больнее прочих в память врезалась такая деталь, как кульпяпки: они – мельтешили, мелькали! Они! которые я когда-то лобзал и лобзал. Я был безнадежен.

Часа через два, пожертвовав подобострастным пространщикам не менее чем на ящик столичной, мы выбыли в направлении монастыря. Город праздноштался – кишел происшествиями – суесловил – дышал миазмами. Возле Большого театра мы стали свидетелями очередной трагедии «маленького человека». Желая пройти без билета хотя бы «под занавес», на последние реверансы, несостоятельный посетитель, по виду – глубокий провинциал, столкнулся в дверях с вышибалой, и тот, раскрутив турнедверь, бессердечно вышиб беднягу обратно на холод. Стоял мороз. Не представив ни шанса на апелляцию театральным разъезд поглотил героя подобно отливу.

«Кто сей? Что сей? – воскликнул я про себя. – До чего же он безымянен! Подумать: наверное, ни в игорных домах Вера-Круза, ни на журфиксах в Сохо, ни в борделях Бордо – никто никогда не видел и не увидит этого неособенного, с давно поредевшей копною

волос гражданина. Да что там наверное – наверняка! Недалек и неловок, ненужен и невелик, он безвыездно и безнадежно жительствовавал, где велела судьба – где положено: где-нибудь в Жмеринке, в Туле. Ах, Тула, Тула. Да что же мы знаем о ней? Что дорого нам в данном звуке? Почти ничего. Какие-то самовары, пряники. В крайнем случае – втулки. Толстой. Но это – максимум. Фантастически скудны, обрывочны наши сведения о настоящем предмете, а гражданин в этой Туле всю жизнь до нитки спустил». Мне всплакнулось.

«Да, удел незавидный, – прочел мои мысли Андропов, сам смахивая слезу. – Только не надо. Не будем расстраиваться по пустякам. Ну их к черту».

«Вы думаете?»

«Уверен. Конечно, мир полон трагедий, но все они более или менее справедливы. Ведь даже истребление целых народов определено избыточной правдой».

«Откуда вы знаете?»

«Так говорил Исая. Глава десятая».

Эзотерические науки были коньком полковника.

И еще о театре. Как-то раз, проводя свой зимний досуг на берегах одного из фиордов той непривычно продолговатой страны, где местная публика на загляденье размашисто ходит по воду на лакированных длинных планках с загнутыми вверх концами и где отсутствие новомодных средств связи делает эту идиллическую картину совсем пасторальной, я свел знакомство с довольно известным французским подданным ирландского происхождения. Закоренелый авангардист, Беккет – так звали рассматриваемого господина – жил и творил в том же самом шале санаторного типа, где жил и творил автор строк, разве что этажом пониже да в номере поскромней.

«Зовите меня Самюэль», – насупленно рекомендовался он, подойдя ко мне в лобби шале. И добавил:

«А вы – такой-то?»

Не став отрицать, я не стал и гадать об источниках его осведомленности. К той зиме я сделался исключительно славен. Мои сочинения стояли на полках даже колбасных лавок, и только совсем уж не уважавший себя журнал не пестрел моими портретами. День же неумолимо клонился к ужину.

«Знаете что, – осмелел Самюэль, – отчего бы нам не отужинать вместе?»

Его предложение было принято.

Не питая особых надежд на то, что когда-нибудь эти записки признают учеными, не могу тем не менее не отметить: съестные способности гомо сапиенс разительно превосходят умственные. Пищеварительный тракт клинического идиота, беромого в интервале событий с пеленок до гробовой доски, приводит к единому знаменателю столько вкусной здоровой снеди, что осмыслить истинное величие катастрофы не в силах никакие фермы. Иными словами, помимо яиц от Амбарцумяна мне за годы послания привелось отведать такую прорву разнообразнейшей кулинарии, что вспомнить, что, где и когда было съедено, не всегда удается. Короче, я не берусь утверждать, чему – кроме скотча и крем-брюле – воздали мы с Беккетом должное «У Кьеркегора» – так называлась ближайшая от нашего шале ресторация. Но, к счастью, могу процитировать все вечернее расписание ее блюд, случайно засушенное в одном альбоме с цветками норвежского коровяка, настои которого весьма хороши как отхаркивающее.

MENU

Forretter:

Klar Suppe med Kod og Melboller ... 12.50 kr.

Honsesuppe med Asparges ..... 13.75 kr.

Hovedretter:

Medisterpolse med Kartoffler,

sovs og Rodbeder ..... 18.50 kr.

Frikadeller med sovs,

Kartofler og Rodkal ..... 20.50 kr.  
Boller i Karry med Ris ..... 16.50 kr.  
Wienerschnitzel med sovs,  
Kartofler og Grontsager ..... 22.50 kr.  
Dansk Bof med Kartofler, sovs,  
Bonner og Blode Log ..... 25.00 kr.  
Efterretter:  
Vanilleis med Chokoladecreme ..... 8.50 kr.  
Fromage med Karamelsauce og Sukater ... 12.50 kr.  
2 Pandekager med Hjemmelavet Syltetoj ... 10.50 kr.

Внимательно изучив меню, мы уведомили официантов о принятых нами решениях. В залах было натоплено, но Самюэль оставался в пальто.

«Нездоровится?» – бросил я.

«Застарелая лихорадка, fievre».

«Что же вас привело в Норвегию?»

«Ибсен. Гамсун. Отчасти Григ».

«Не спросить ли глинтвейну?»

«Я не любитель».

«А может, хотите грогу?»

«Мерси. Лучше виски».

«Сейчас принесут».

«Шире шаг, ленивый Джон Уокер, – сказал драматург. – Пошевеливайся».

«Я слышал, вы балуетесь переводами?» – полюбопытствовал я.

«Так, слегка».

«Почитайте из лучших».

Он закурил. Бармен принес литрового «Джонни Уокера», откупорил и ушел.

«Невежа», – сказал ему вслед Самюэль. Он налил в оба стакана и выдавил в свой пол-лимона.

Мы выпили. Не спеша драматург прочитал три-четыре стиха в переводе с английского на французский, а после их же в обратном. В камине горели поленья.

«Недурственно», – молвил я.

Он не ответил. Видно было, что его что-то мучает.

«Вам полегчало?» – спросил я Беккета.

«Вне сомнений».

«Однако я вижу, вас что-то мучает».

«Мучает?» – переспросил Самюэль, пораженный моей пронизательностью. Выглядел он угловато, сурово, несимметрично, словно только что от Пикассо. Пальто, пошитое в первой четверти века у какого-то прикладного кубиста, усиливало иллюзию.

Подали первое.

«А пожалуй, вы правы, – сказал Самюэль. – Что-то мучает».

«Как-то?» – Я затолкал салфетку за воротник.

«Я, наверное, понял, что заблуждался. Вернее, не я, а Годо. Вы смотрели?»

«Многажды. Впервые – в Монтевидео. Потом в Барселоне, в Афинах, в Цюрихе, на Галапагоссах. Не перечить».

«А в Рейкьявике?»

«О, Рейкьявик, еще бы! Там ведь прекрасный английский театр. Вас обносят напитками сами актеры, по ходу действия. Разумеется, можно и закусить. Чертовски комфортно».

«А как постановка?»

«Наслаждался каждой минутой».

«И декорации тоже понравились?»

«И декорации, и костюмы, а свет – сплошная феерия».

«Тем не менее, – сказал Самюэль, – мой Годо никуда не годится».

«С чего вы взяли? По-моему, вещица на ять».

«Он поступает бестактно».

«То бишь – не поступает никак?»

«Абсолютно».

«Что ж, в данном случае он, очевидно, не прав, – согласился я. – Некрасиво. Публика ждет, надеется, а ему хоть трава не расти».

«Шокинг, – кивнул Самюэль. – Моветон». Принесли второе.

«Скажите, – сказал он мне, – разве кто-нибудь из заглавных героев того же Ибсена позволил себе хоть единожды не возникнуть, не выйти к рампе?»

«Импосибль, – отозвался я. – Такого героя просто неверно бы поняли. Вообще, удивляюсь, как вам еще верят. Вернее, не вам, а в него».

«А я что ли не удивляюсь!» – сказал Самюэль. Мы пригубили.

«Я устал, – доверительно заговорил драматург. – Я устал удивляться. Устал от того, что Годо не приходит, а зритель и персонажи наивно верят, что он придет. Я устал ждать его вместе с ними. Я стар, одинок, бессонен. Я вдрызг устал от Ирландии, Греции, Франции, от Бенилюкса и Австро-Венгрии, от Канады и Кипра, от Африки и Латинской Америки. Вы понимаете, что я имею в виду? Это ж надо так изолгаться, извериться».

«Вы устали, – ответил я. – Вы изъездились».

«И тогда я приехал сюда, к Ледовитому океану, на край всего, чтобы придумать другой конец. А точнее – дописать „Годо“ до того момента, когда он все-таки соблаговолит прийти. Вообразите-ка: быстро входит Годо, медленно доедая яблоко. Это ремарка. Авторская ремарка. Вам нравится? Каково?»

Беккет казался предельно взвизрен.

«Задумка сама по себе недурная. – Я выдержал паузу. – Только не лучше ль наоборот: входит медленно – ибо с чего бы ему торопиться, – а доедает стремглав, ибо голоден».

«Лучше, – сказал Самюэль. – Много лучше. Я переделаю. Обещаю».

И тут принесли десерт.

«Послушайте, а зачем тут яблоко? – был мой вопрос. – Не слишком ли оно лобово и глобально?»

«Да, но как же иначе, – ответил официант. – Крем-брюле-то ведь яблочное, с цукатами».

«Я – не вам», – объяснил я официанту.

«Пардон», – извинился тот.

«К дьяволу яблоко, – молвил Беккет. – Вы – умница, Палисандр».

«Если ж идти до конца, – тыкал я вилкой в его блокнот, куда он едва успевал записывать то, что я ему диктовал, – то Годо не дано возникать ни быстро, ни медленно, так как он может возникнуть одним-единственным образом. Набросайте-ка: снисходительно входит Годо».

«Снисходительно! – эвристически закричал Самюэль на всю ресторацию. – Снисходительно! Гений!»

На нас оборачивались.

«От гения слышу», – сказал я ему тактично. И отчетливо проговорил на всю залу: «Э-э, будьте добры, будденброков с икрой, пожалуйста». И хотя в меню их не наблюдалось, были принесены.

Мы добились надменного «Уокера», расплатились визитными карточками и вышли в норвежскую ночь – ночь Ибсена, Гамсуна, Грига, ночь Олафа Пятого и Шестого. Мы были пьяны как художники – вдохновенно, и все мыслимое и неммыслимое вне ее – перед лицом ее – на лице ее фона – на фоне ее лица – представало посредственным до удушья. А над ее оркестровым провалом, зайдясь в немом исступлении, махал опахалом нордического сияния невидимый дирижер-вседержитель. О, как распахнуто чаяла щупальцев какого-нибудь грандиозного головоногого виртуоза клавиатура фиордов, украшенная беспорядочным нагромождением скал! Причем веками, веками.

Затем мы расстались. С Беккетом – в лобби шале, с Андроповым – у проходной Новодевичьего.

«Значит – договорились?» – сказал полковник, протягивая мне руку из катафалка.

«Есть», – кратко бросил я по-военному.

Ход событий заметно ускорился. Эпоха летела на перекладных. Несмотря на то что очередной передел мира опять закончился вничью, общество претерпевало все большие изменения, а Юрий Владимирович все продвигался по службе. Он стал Кардинальным Хранителем.

Планы наши имели тенденцию-осуществиться. Не прошло и целого ряда лет, как с известной Вам целью я уже подъезжал к Александровским палисадникам. В инструкции, что мне передал накануне андроповский порученец Цвигун, которого Сулов подвигнет впоследствии на самоубийство, указывалось:

«Местоблюститель проследует из осенней резиденции (Кунцево) в зимнюю (Большой Кремлевский Дворец) обычным путем. Встречайте у Боровицких». День и час сообщались.

Вместе с инструкцией мне вручили обмундирование, пропуск в крепость и вид на жительство на имя какого-то кавалерийского подхорунжего, ордер на казнь и другие необходимые документы. Все были нотариально заверены.

Затянув португепю, я сел в ожидавший меня дормез и покинул его у Собакиной башни. Держа равнение на Вечный Огонь, правую руку – у козырька, а левую – на эфесе сабли, парадно печатал я март к пропускному Кутафьему пункту. Огнепоклонники и другая чистосердечная публика, гулявшая во саду, испытала прилив совершенно законной гордости. Отставники вытягивались во фронт. Влага военно-патриотического умиления остекленила им очи.

Расчет Андропова оправдался. В отличие от Якова Незабудки другой старослужащий часовой оказался типичным раззявой. Не осознав, сколько лет у меня пролетело в изгнании и как я в нем повзрослел, он решил, что я попросту предаюсь обычной своей забаве – играю в солдатики, и поэтому не спросил даже тех фальшивых бумаг, которыми я в избытке располагал.

Я прошел за Троицкие ворота и задворками направляюсь в гвардейскую бильярдную, что при всех режимах находилась в Свибловой башне. Чтобы убить остававшееся до акта время, сгонял, как выразился один офицер, с ним партею. Звали этого морского кавалергарда Орест Модестович Стрюцкий.

Являя собой род мозглявого слизняка, он принадлежал к той довольно распространенной породе граждан, что изначально вступают на путь добра и общественного порядка. Во всем руководствуясь соображениями справедливости, чести, люди подобного склада чем-нибудь поминутно заняты. Где-то учатся, служат, куда-то долго спешат и пишут, на ком-то женятся, долго производят от них детей, о чем-то пекутся, заботятся, достигают и званий, и степеней, долго важничают, глубокомыслят. А после, когда настает этим людям пора оглянуться и вспомнить пройденное, оказывается, что вспомнить положительно нечего. Тогда-то и начинают они приискивать себе жизнесмысл и, сами того не заметив, становятся завсегдатаями притонов, рабами своих нездоровых эмоций. Они впадают в дремучий разврат, предаются вину, табаку, сальным шуткам. И это именно их, орестов Модестовичей, то и знай зачисляют в пропавшие без вести, чтобы найти вдруг погибшими от припадка апоплексии в постели какой-нибудь полусветской мадам. Карьеру же их венчает итог еще менее славный. Изгнанные со всех прежних служб, граждане данного сорта кончают истопниками, курьерами шорных фабрик, смотрителями общественных санузлов, маяков или вовсе в пространство. И ежели им случается играть на бильярде, то ассоциации, которые вызывают у них обыкновенный кий и пара оставшихся на сукне шаров, откровенно похабственны. Тем не менее ни в какую распутицу не застанешь орест модестовичей за чтением не то что там Фрейдов, но и элементарных Павловых. И что характерно? При всей их непросвещенности в вопросах известного круга, стрюцких отличает патологическая недоверчивость. Например.

Мысля по-своему монархически и любя побеседовать в ракурсе прошлого, они слегка лишь коснутся значенья земельных реформ Столыпина, но зато со всего кондачка перескажут Вам будуарные анекдоты о Екатерине Второй и со всею стрюцкою основательностью останутся на параметрах Его Величества Петра Первого срама, длина которого, как известно, равнялась двенадцати спичкам. Правда, не наших, а шведских, поскольку измерения производились на Готланде, где молодой тогда человек вкушал европейских премудростей. Данные эти не вызывают у стрюцких ни капли сомнений. А стоит Вам намекнуть, что лично Ваше зизи достигает девятнадцати тех же спичек в длину, как стрюцкие заявляют, что не поверят полученному сообщению, пока не проверят его воочию или хотя бы на ощупь. Ну-с, а Вы, разумеется, не намерены – не намерены доставлять орестам модестовичам подобного удовольствия и суете им под нос обыкновенную дулю. Тут стрюцким делается обидно, они протестуют, шумят – и пререканиям вашим не видно конца. Слава Богу, что в нашем случае на лестнице раздались шаги и дыхание вестовых, бегущих уведомить о приближении брежневского кортежа, и мы прекратили этот нелепый скандал, едва не поставивший нас к барьеру.

Слух о подъезде Местоблюстителя распространился бикфордово. Тревожно запахло сапожной ваксой, пуговичной суспензией, замелькали бархотки. Компактными звеньями и вразнобой пронеслись военнослужащие. Суета нарастала. Я выступил на балкон.

По Дворцовой – дергано и откосо – маршировали отряды с примкнутыми штыками и нулевым выражением лиц. Левее, на Соборном плацу, стояло каре почетного караула. Проверку подворотничков на свежесть осуществлял маршал Захаров. Прошелестели штандарты. Пестрея тельняшками, прокатила куда-то фуры с провизией братва с тринадцатой батареей четырнадцатого отдельного дивизиона сто двадцать первой дальневосточной бригады. «Береговики», – с теплотой отзывались об этих приморских артиллеристах. Церемониально, будто сквозь строй, провели обезумевшего от собственной бравоности барабанщика. «Тик-так, тик-так», – повествовал его полковой барабан.

Быстро и на правах офицера шагнул я за Оружейную башню. Все здесь, в сыром переулке между брандмауэром и Палатой Мер и Весов, было мне с детства знакомо. Лишь там да сям, по расселинам, сиротливо курчавилась новая, неведомая досель мурава и древесная поросль. Но ящерицы были по-прежнему юрки, и неторопливы улитки.

«Благоволите на эспланаду!» – крикнул мне кто-то, уже находившийся там.

«Что-с?»

«Отсюда виднее».

Степенно проследовал я под навес смотровой площадки.

Со стороны Манежа близился авангард эскорта. Из-за университета, построенного Казаковым по чертежам Жилярди, валила жирная туча.

«Оптику не желаете?» – протягивали мне спаренные бинокляры.

«Цейс?»

«Тридцать диоптрий».

«Благодарю вас».

«А вы – из Генштаба?»

«Нет, прямо из действующей».

«Как проходит кампания?»

«Как ни в чем не бывало».

Катафалк Местоблюстителя сворачивал в Боровицкий проезд. Толпа обожателей и зевак, теснимая шпалерами полицмейстеров, осенила себя зонтами и капюшонами.

Я приставил бинокль. Дождевая испарина, шедшая от разгоряченных людей и брусчатки, легла на лупы, слегка замутив их. Брежнев сидел на заднем сиденье грузно, пожившим кулем. Глаза наши встретились. Но если мои – бликовали, его – были тусклы. Он смотрелся избыто, потусторонне, словно уже переехал Стикс. Сопутствующие выглядели не многим бодрее.

«Готовьтесь! – воззвал я к нему умогласно. – С вас причитается жизнь».

Казалось, что он не внял мне.

Разряд зеленого небесного электричества блеснул так близко, что некто, стоявший рядом со мной на брандмауэре, присел и крикнул.

«Не дрейфить!» – презрительно приказал я военному, поправляя ему фуражку. И потечески мягко добавил: «Ведь смерти нету».

«Есть смерти нету!» – уверовал он.

Веселящий запах озона и мокрого города будил, расшевеливал вольномыслие. Я увидел, как стая студентов, начитавшихся всякого вздору, выбежала из читальни на площадь и, выкинув на шестах крамольный девиз, сбילה с ног кентавра от жандармерии. «За вашу и нашу свободу!» – гласил транспарант. Учащихся повязали. Озноб неосознанного протеста заставил меня сжать в кармане шинели шершавую рукоять.

История того шестизарядного кольца весьма поучительна. В ней отразилась борьба философских течений, страстей, неурядиц века.

В незабываемом девятьсот девятнадцатом знаменитая революционерка Фаина Каплан произвела из него ряд выстрелов по Ульянову-Ленину Владимиру Ильичу, в музее которого он и хранился. В тридцать четвертом году револьвер из музея похитили и при посредстве его аннулировали Сергея Кирова, после чего кольт сослали в морозную Вятку, в музей последнего. В период же так называемого Реабилитанса Фаина вытребовала револьвер к себе в Эмск, поскольку то было ее именное оружие и у нее имелась записка от Ленина, адресованная Дзержинскому: «Фаню Каплан из-под ареста освободить. Револьвер верните. Ульянов». Имелись у нее и другие записки от Ленина. В частности, к ней самой, многолетней интимной его соратнице, не пожелавшей делить любимого человека с претенциозной и недалекой Крупской, которую Фаина считала большой мелкобуржуазкой. Решив, что сначала убьет его, а потом и себя, Фаина отправилась на завод Михельсона, где выступал Владимир. Рабочие предприятия, к счастью, не допустили трагедии, и любовники отделались незначительными царапинами.

Заботами Крупской ленинские записки к Фаине мариновались в архивах десятилетиями, и опубликованы эти бесценные документы были только при мне. Смотрите собрание его сочинений, том семьдесят третий, смотрите, сколько мятущейся чувственности сквозит в буреломе упрямых строк, обращенных к подруге жизни и деятельности! Впервые случилось мне прочитывать любовные те послания в тире Высшего Добровольного Общества по Спасению Утопающих. Готовясь к аннигиляции Местоблюстителя, я ходил туда упражняться в меткости, и моим приват-педагогом была Фаина Исаковна. Случайно ли? Разумеется, нет. Нанявший ее для меня Андропов знал: старейшая русская террористка и персональная пенсионерка, она как никто другой может поспособствовать моему совершенствованию. И она – способствовала.

«Чтобы стать метким, – не уставала твердить Фаина Исаковна, вновь и вновь подтягивая свои сползавшие шелковые чулки, – террорист должен кушать побольше сырой моркови, улиток, лангуст». Рекомендованная педагогом диета пошла мне впрок. Тонус резко повысился. Я перестал опаздывать на репетиции, сделался не по-зимнему деловит, энергичен, и безучастно свидетельствовать, как старуха подтягивает чулки, становилось невмочь. Поэтому как-то раз, когда мы остались в тире одни и расположились на матах, чтобы упражняться в стрельбе из положения лежа, я поступил по-мальчишески дерзко, но целесообразно. Задрав ей длинное, покрой первой империалистической, платье с оборками, я убедился, что был в своих предположениях крайне прав: чулки эсэрки сползали единственно потому, что она не носила ни пояса, ни подвязок. Других предметов исподнего также не наблюдалось.

Когда я размежевал ей худосочные чресла и, как заметил бы Стрюцкий, атаковал ее шомполом неги с казенной части, Фаина Исаковна даже не обернулась. Уперев волевой подбородок в мешок с песком, она продолжала целиться в яблочко.

Я провожал ее за полночь. В парках капало, лопалось, зацветало. Стонали кошки. Судачили соловьи. И, сося ухажерские барбариски, жеманились малолетние женжинки.

Пахло же – прямо-таки чем попало. Апрельский эфир ведь – микстура. В нем целая гамма запахов: от спертого духа порочных зачатий до вольного веяния свежевыкопанных могил. «Послушайте, милочка, отчего вы не носите то-то и то-то?» – спросил я Фаину Исаковну, поборов застенчивость.

Лишь половина лица ее улыбнулась. Другая, немного парализованная, глядела нездешне и ни в чем не участвовала. Эффект отсутствия был налицо.

«Не терплю,– отвечала Каплан.– Мне кажется, вся эта галантерея до ужаса закрепощает. В ней масса старорежимного, пошло-дворянского. Не для того, согласитесь, не для того мы с Владимиром перекроили порядок вещей, чтобы по-прежнему путаться в нижнем, не правда ли?» Словно в память о милом друге, она грассировала.

Жила Фаина Исаковна с домочадцами, и мы не пошли к ней. В парадном я усадил террористку на излучку перил и опять вдохновился. Стрижена коротко, завита мелко, приятельница моя страдала одышкой, без перерыву курила, и всякий раз как ее постигал оргазм, заходила еще и в табачном кашле.

В ту ночь я юношествовал ее до тех пор, пока она не впала в такое безответственное забытие, что чулки с нее, в принципе, спали. Я оглянулся: один лежал на ступенях, и лишь другой, зацепившись петлею за желтый и словно обкусанный ноготь большого синюшного пальца, все еще ниспадал. Светало. И с чувством глубокого удовлетворения, хоть не без некоторого озорства, подумалось: «Видел бы Ленин». И вновь содрогнулся. Но Фани уже не ответила мне. И вскоре я наблюдал, как щупальце моей прихоти медленно и смущенно исходит из умиротворенного лона, как бы раскаиваясь в содеянном и прощаясь до новых оказий.

А между тем приближалась пора выпускных экзаменов и зачетов. Занятия наши кончились. Расставаясь, Каплан подарила мне свой заслуженный револьвер.

«Не знаю, что вы задумали,– сказала она немного высокопарно,– но верю, что вы не уроните честь моего оружия».

Я потрепал педагога по бородавчатой искаженной энтузиазмом щеке: «Не поминайте лихом».

Единственная слеза террористки капнула мне на кисть. На ту, что сжимала теперь историко-революционную рукоять.

Гроза, как посетовал кто-то рядом, совсем разразилась. Эскорт, караул и прочие подразделения были хоть выжимай. Когда авангард эскорта копытил уже под сводами Боровицкой арки, в Набатной башне забалаболит набат. Подумав, ему отозвался Иван Великий. Вознесся малиновый звон Благовещенского, кисейный – Успенского и узорчатый звон Архангельского соборов.

«Куда вы?» – постиг меня внутренний голос.

«Спущусь»,– возражал я, спускаясь.

Лило; и лестница пузырилась.

«Осторожнее,– донеслось с бастиона,– не поскользнитесь!»

Я махнул свободной рукой: «Не волнуйтесь, мне ведом тут каждый камень, посколь», – поскользнувшись на чем-то скользком, впоследствии оказавшемся юркой ящерицей, дерзающее лицо тут почти что упало. Точнее, упало, но не вполне, практически не изгваздав мундира. И непечатно выразившись, перчаткою я отхлестал галифе по отвислым, словно у Леонида, щекам. И шагнул в направлении подвига.

Авангард проследовал. Ливень лизал дымившиеся на мостовой конские яблоки, преображая их в навозную жижу, вкрадчиво веявшую былым, невозвратным. Я встал за спинами караула. Команды послышались. Шашки вышли из ножен с шелестом шоколадной фольги. Очередная молния произвела тот эффект, что клинки, голенища, кокарды и остальные блестящие вещи как бы покрылись изморозью. На ощупь взвездя курок, я двинулся далее. И когда катафалк моего соперника въехал под Боровицкую арку, я стоял уже в узком ампирном портике, вырезанном в основанье восточного свода, и

сокрушенно молился. «Ма,— молился я на санскрите за всех ратоборцев и путешественников,— ма!»

Торчавшие у противоположной стены привратники и городовые проглотили аршин: экипаж надвигался. Оконные рамы его были откинута. Леонид сидел в прежней позе.

«Позвольте!» – воскликнул один из городских, случайно обративший внимание, что, прищуря глаз, я целюсь непосредственно в Местоблюстителя.

«За вашу и нашу свободы!» – ответил я держиморде студенческим лозунгом. И с тянущим ощущением раскольниковской вседозволенности потянул за крючок. Звук удара бойка о капсулу был туп и растерян.

«Проклятая сырость!» – определил я причину осечки и сызнава взвел курок. Барабан провернулся.

«Не смейте! – кричали городовые из-за разделившего нас экипажа.— Вы слышите?»

«Попросил бы без комментариев»,— грубовато отрезал я, продолжая целиться Леониду в голову с расстояния четырех шагов.

Первым выстрелом я сбил с него шляпу. Вторым пробуранил функционеру висок и, дабы не видеть, как брызнет мозг, отвернулся. Конструкция стала. Вокруг засновало броуновское движение. Лошади арьергарда, едва ступившие под барочные своды арки, отпрянули, развернулись и понесли. Возле экзерцирхауза сделалось коловращенье, случилась давка. Там звали на помощь и, изъясняясь в кровосмесительном наклонении, дрались в зубодробительном падеже.

«Простите, но вы арестованы»,— подошед, уведомили меня с такой щегольской офицерскостью, с какой в гарнизонном балу приглашают к мазурке.

В ответном порыве армейской галантности я приосанился, сдал оружие и взял расписку.

Пора было ехать. Мне выделили охрану и подали локомотив. Мы откинулись и помчались. Подстрекаемая провокаторами толпа могла растерзать убийцу Местоблюстителя во мгновение ока, и во избежание беспорядков мы выбыли через Спасские. Я оглянулся; на дядином циферблате было без перемен: без шестнадцати девять. Прояснилось. Сабли молний уж отблестали. По тротуарам шли куда-то какие-то люди.

Миновав окраинную вотчину Димитрия Самозванца, Тушино, мы оставили город и долго ехали незнакомой местностью. Вскоре кибитка остановилась перед ренессансной литою решеткой ворот, украшенной ложноклассическими фитюльками.

Подошел и – «Кого везете?» – промолвил тот, кого это, по-видимому, интересовало.

«Его Сиротство»,— ответил начальник моей охраны.

Ворота страннопримно распахиваются. Мы проезжаем, въезжаем, едем и подъезжаем. Затем выходим. Потом меня влекут этажами: мне предлагается осмотреть ряд меблированных номеров, или, как их тут называют, камер. Я останавливаю свой выбор на первой попавшейся – наспех ужинаю – молю поскорее наполнить ванну – и с сознанием не впустую прошедшего дня низвергаюсь в ее стремнину. И только тут я устало осматриваюсь.

Санузел, каких немало в столицах по-настоящему европейских держав. Кроме с трудом, но вместившей Вас все-таки ванны черного мрамора, имеются краны, душ, ниши для мыльниц, вешалки для полотенец, пижамные вешалки, механические опахала, шкаф с предметами первой гигиенической необходимости, губки разные, набор всевозможных пемз и мочал, стульчак и журнальный столик. Одна из дверей санузла выводит в столовую, где на закуской околесице остывает недопитый Вами бульон. Другая – в опочивальню, где ждет Вас заслуженная перина, свеча в изголовье да неразрезанный Вашим предшественником Шопенгауэр. Свежо, по-новому смотрит из пробковой рамы над ложем давно примелькавшийся на свободе Рембрандт; подделка ли, копия, оригинал – работа во всяком случае недурна. Все просто, пристойно, чисто.

«Так вот ты какая, неволя! – я мыслил с почтеньем.— Навряд ли случайно воспели тебя в творениях именитые деятели искусств и ремесел, равно и безымянный народ. Еще многих и многих, лучших из лучших вдохновишь и наставишь ты, святая неволя, на истинный

путь. А покуда – прими меня. Словно блудного сына прими меня, приюти, воспитай. Стоически перенес я изгнание – стоически перенесу и тебя. Словом, здравствуй же, здравствуй!»

И задремал. Гордо дремлется гражданину, исполнившему свой долг – гражданский ли, нравственный, трудовой или просто супружеский. Я очнулся в одиннадцатом часу.

Совершив обычные утренние отправления, нахожу в секретере чернила, перо, пачки писчей бумаги и начинаю тюремный альбом. На девяносто одном (!) языке всего мира опубликован он к настоящему времени. Любовно листают его пилоты Лапландии, учащиеся Гондураса, героические рыбаки Индонезии, чаеводы республики Чад. Полистаем и мы. (Дневник публикуется с небольшими сокращениями, в частности, за счет дат.)

## Книга отмщения

Эпиграф: «Человек, взятый под стражу, подобен тексту, взятому в скобки: он отчуждается». Палисандр Дальберг.

Принял решение завести дневник. Взял бумаги. Веду. Входит некто. Здоровается. Желает приятного аппетита.

«Приятного аппетита», – желает он.

«Приятного?» – переспросил я, и вправду закусывая чем Бог послал. Как-то: куском прохладной телятины, ломтиком буженины да плавником барракуды под винным соусом. В перспективе маячил и чай.

«Так точно, – настаивал незнакомец. – Приятного».

«Так-таки и приятного?» – сыронизировал я.

«О, если вы заподозрили меня в лицемерии, – горячо взлепетал вошедший, – то я могу поклясться вам честью, что пожеланье мое совершенно искренне. И я готов повторить еще раз, что желаю вам исключительно приятного аппетита. Слово кадрового офицера: приятнейшего».

«Никогда, – по-цезариански не отрывая пера от бумаги, а себя – от еды, произнес я отдельно, – отныне и присно и ни при каких обстоятельствах не желайте мне всех этих удивительных утр, отменных пищеварении, приятных кошмаров и прочих мещанских пошлостей: ненавижу». И посмотрел на него так, что мне стало его положительно жаль. А ему показалось, будто какая-то нечеловеческая энергия вдавливают его в паркет.

«Не повторится», – отрекся он, задыхаясь.

«Я верю вам. А теперь повернитесь, выйдите из моей кунсткамеры вон и, войдя в нее вновь, доложите по всей подобающей форме».

Подкованно удалился. Возник опять.

«Разрешите представиться?»

«Представляйтесь».

«Подпоручик Орест Модестович Стрюцкий. Начальник вашей тюрьмы».

«Рад душевно. Имейте место, – предложил я ему, указывая на свободное кресло с фигурными подлокотниками а-ля арт нуво. – Ну-с, а я – Палисандр Александрович, узник совести. Так что будем знакомы. А не угодно ли подкрепиться?»

«М-м, да как вам сказать».

«Только без церемоний. Да или, как говорится, нет».

«Не откажусь», – отвечает он, алчно расстегивая на своем вицмундире верхнюю пуговицу.

«Тогда позаботьтесь, чтоб привезли еще, поскольку мне тут и одному маловато».

Он вызвал шеф-повара и заказал нам ряд блюд, которые вскоре и прибыли. В тарелки было наложено с верхом.

«Вот это, я понимаю, порции, – молвил я. – А то создается какое-то остраненное впечатление, будто попал не в кремлевский орденосный острог, а в заштатные ясли».

Мы трапезуем.

«Уж вы извиняйте, у нас здесь в последнее время немного без гобеленов,— оправдывается Орест.— Уж чем богаты».

«Да вижу уж, вижу. Ладно хоть канделябры наличествуют».

«Ну, этого-то барахла — в избытке,— исполнился офицер оптимизма.— Чего-чего,— говорил он мне,— а канделябров юсуповских нам тут по гроб жизни достанет».

«Не странно ли,— раздражился я,— канделябров достанет, а гобеленов недостает. Неувязка, по-моему, а?»

«Мы их в чистку,— сказал Орест,— в чисточку, знаете ли, свезли. Почистить. А вернутся — сейчас и развесим».

«За качество чистки,— рек я начальнику,— отвечаете головой».

Отфриштикав, беру зубочистку, откидываюсь и наконец имею возможность внимательно рассмотреть Ореста Модестовича.

Современный тюремный администратор обязан корреспондировать всем тем требованиям, которые предъявляет ему эпоха. Известная гибкость, такт, личное чувство ответственности за порученное тебе дело, умение быстро сходиться и расходиться с людьми, огромный, едва ли не диогеновского масштаба, педагогический дар — вот только несколько из большого количества качеств, необходимых сегодня тюремному администратору. Неладно скроен да крепко сшит, востроглазый и чем-то неуловимым напоминающий ветеринара средней руки, Стрюцкий ими, по-видимому, и обладает. Однако мне, художнику-минималисту, желающему дать Вам всего человека в двух-трех штрихах, эти первостепенной важности свойства Ореста Модестовича в сравнение с одним из второстепенных — одним, но более выразительным — представляются нагромождением хлама. Так на театре, где в дебрях сценического реквизита разыгрывается светопреставление с характерным зубовым скрежетом, воем и боем литавр, какой живительный свет проливает на все предприятие какая-нибудь рассеянная инженерю, использующая занавес в качестве носового платка; ибо это лишь и волнительно. Параллель очевидна; весь вид Ореста Модестовича свидетельствует, что он принадлежит к категории модников, которые независимо от семейного положения, возраста, страны проживания, национальности — носили, носят и будут носить подколенные помочи, или особого рода резиновые мужские подвязки, а значит — и соответствующие носки к ним. И не говорите таким мужчинам, что если они и похожи в своих подвязках на гладиаторов, то весьма отдаленно: они проклянут Вас.

«А что это вы там пописываете?» — спрашивает Орест Модестович.

«У меня есть мечта,— возражал я ему словами Мартина Лютера Кинга.— Мне хочется, чтобы во имя нашей будущей дружбы в Вашей памяти никогда не меркла классическая, вошедшая во все хрестоматии притча о бедной Варваре, кому в наказание за любопытство оторван был на базаре нос. Ясно?»

«Ясно, Ваше Сиротство!»

«Так выполняйте».

Весь день жду вестей от Андропова.

Вестей от Андропова нет, но доставили кое-какие личные вещи, в частности, книги и маски.

Проявляю признаки беспокойства. Брожу.

В рассеянье раздвинул оконные шторы в спальне и впервые увидел тюремный двор. Двор как двор. Есть качели, песочница, небольшой фонтан. Есть беседка. Разбит arboretum, плавно переходящий в парк, окруженный забором. А далее — полный простор пасторального запустения: пажити, перелески, сады.

Странно — да факт: вплоть до Октябрьской пертурбации все здесь до окоема принадлежало одной фамилии, связанной с нашим родом незримыми, но роковыми узами. Юсуповы! Именитейшие татары России! Гремели.

В шестнадцатом, насколько мы понимаем, году кн. Феликс Юсупов заманил моего деда Григория в свой петроградский дворец и в соответствии с лучшими традициями

княжеского гостеприимства (Достаточно вспомнить княгиню Ольгу, что зазвала варяжских послов попариться в бане, в самый разгар массажа коварно покинула их, заперла на засов и спалила свое заведение вместе с клиентами) накормил цианистыми пирожными. Выдающийся интуит и прекрасный знаток истории, Григорий заранее принял противоядие: яд не подействовал. Увидев это, Феликс возьми да и застрели Григория.

Миновали эпохи. Ведущий данный дневник потомок Григория убиенного стреляет в Местоблюстителя В., женатого третьим браком на внебрачной дочери Феликса, и, арестован, обретает себя в Архангельском, бывшем имении Юсуповых, преобразованном в привилегированный равелин. Неразбериха – дичайшая!

Однако вид из окна моей спальни будет ущербным, если не указать, что на первом плаве в изысканной позе отчаяния произрастает нечто раскидистое, огромное и плакучее вроде того болконского дуба, о котором нам сыздетства прожужжали все уши.

Спросил подшивку газет за неделю. Вместо извещения об умерщвлении Б. – хотя бы и краткого – подписанное его именем соболезнование Южному Йемену по поводу якобы постигшего тот наводнения. «Все тонет в фарисействе!» – вспомнил я слова Пастернака.

Сижу и вдумчиво ужинаю. Заходит Орест Модестович, заходит беседа о математике, начинаем чертить на доске в кабинете непонятные непосвященному формулы, выкладки, эвклидовы чертежи, спорим, вздорим, в запальчивости бросаем друг в друга мелками, ластиками, хлебными катышками, во в конце концов решаем сойтись на том, что уравнение:  $x$  в энной плюс игрек в энной равняется зед в энной степени, где эн – целое число больше двух, но не больше двух тысяч пятисот двадцати одного, – все-таки не имеет решений в целых положительных числах. И расстаемся приятелями.

Брежжущий день по-троянски загадочен и чреват неведомым содержанием, что, как правило, не замедливает предстать. Но отдельные дни обманывают даже самые скромные ожидания, ибо не таят в себе ничего. Вот и сегодняшний оказался пуст. Пуст до гулкости, сер, правда, весь в созревающих яблоках здешнего сада. День-конь.

В дождь вороны летают над дальними свалками, словно бы мокрые тряпки; в ведро – словно сухие. Нынче, если не возражаете, льет. Говоря же вообще, мир пернатых поражает разнообразием. Так, если на некоторых континентах отсутствует то, что мы зовем соловьями, то уже на острове Сахалин, о котором писал еще Чехов, не сыщешь ни воробья.

Скушно, скушно. (За укулеле.)

Заявляется – на коне! (Описка. Следует читать: наконец!) – Андропов.

«Доложите же, – говорю, – обстановку. Что слышно в крепости? К нам сюда доходят лишь самые неопределенные слухи, а в печать, как вы знаете, вовсе ничего не просачивается. С тех пор как не стало Владимира Ильича, в ней парит только фраза и фраза».

«Я вынужден огорчить тебя. Третьего дня Местоблюстителя видели на приеме».

«На что это вы себе намекаете, сударь?»

«На то, что он жив».

«Тем самым вы как бы даете понять мне, что я не убил его?»

«Даже не ранили».

«Бросьте, пожалуйста. Зачем разыгрывать. Вторая пуля буквально прошила мозг, я видел».

«Нас провели, – объявил Андропов. – Стреляли-то вы молодцом, только в куклу. А Брежнев как таковой проехал, по-видимому, подземкой. Так что секретчики тоже не дураки».

«Досадно. А телохранители? Я не ранил их часом?»

«Телохранители? – усмехнулся он. – Тот же воск. Манекены работы Вучетича».

«Хм, то-то они все выглядели столь помято, – заметил я. – Впрочем, что же нам делать?»

«Принять происшедшее к сведению и – действовать, – молвил Юрий, поигрывая каким-то брелоком. Одет генерал-генерал был с иголки. И он продолжал: – Завтра к вам будут допущены иностранные корреспонденты. Надеюсь, вы покажете себя большим патриотом и гуманистом. На Западе это любят. И пункт второй. Пора уж встать в связь с княгиней».

«С Ольгой?»

«С какой еще Ольгой?»

«С Ольгой Олеговной».

«Что вы несете, проснитесь!»

«А, вы – об Анастасии. Прошу прощения, призадумался».

«Болванка готова?»

«Смотря по тому, что вы называете болванкой, милсдарь», – ударился я вдруг в стрюцкое остроумие.

«Болванкой, – Юрий неодобрительно рассмеялся, – я называю проект письма, черновик такого, а вовсе не то, что вы думаете».

«Нет, Юрий Владимирович, такую болванкой я еще не располагаю».

«Поторопитесь. На той неделе в Шманц отправится дипкурьер».

«В Шманц? Не стольный ли это град Бельведера?»

«Конечно».

Засим мы расшаркались и расстались.

Машина паблисити завертелась.

«Зачем вы стреляли в Брежнева?» – открыл мою пресс-конференцию хроникер американского «Ньюсуика» Эндрю Нагорски.

«Я намеревался убить его», – был мой ответ.

«Для чего?» – поинтересовался Боб Кайзер из «Вашингтон Пост».

«Во имя прогресса и процветания всего человечества».

«Раскаиваетесь ли вы в содеянном?» – последовал вопрос канадской журналистки Викки Габоро.

«Ни за какие коврижки!»

«В какой стране вы желали бы получить политическое убежище?» – спросила итальянская репортерка Ориана Фаллачи.

«Ни в какой, – возражал я ей. – Я – русский и должен жить и умереть здесь, в Отчизне, даже если меня и сгноят в ней заживо».

Присутствовавшая тюремная администрация заплодировала. Вопросы посыпались напрапалую. Ответы мои были нелицеприятны и хлестки. Вздох работали бормотографы. (Нотабена. Изобретение бормотографа оказало на общество тот дисциплинирующий эффект, что оно научилось держать язык за зубами. А болтливые отщепенцы сами оказались за решеткой темниц.)

Ничего примечательного.

Весь день пролетел во плескалице. Пустота.

Экая все-таки сволочь этот Вучетич! В юности закончить школу ваянья и зодчества – быть подающим надежды скульптором – слыть бунтарем по разряду искусств, а на старости лет записаться в придворные чучельники – стать ретроградом – директором Всероссийского музея восковых фигур – и, протитуируя оригинальный талант, не брезговать никакими заказами. Это ли не тотальная драма художника. С другой стороны, в провале нашего покушения виднеется и положительное зерно. Ведь если быть до конца гуманистом, нельзя не порадоваться: спасено еще одно мыслящее существо.

Но ежели быть просто-напросто человеком, человеком с так называемым человеческим лицом, то нельзя не бросаться на опорные прутья перил – не лезть на стены узилища – не сыпать на голову папиросный пепел – и не вопить: «О, прости меня, Шагана, прости, что унизивший высокую нашу приязнь временщик не возвращен стараниями моими во прах!» И нельзя не сгорать на декабрьском погребальном ветру – как свеча! – в трепетанье! – о нет!

«Милостивая Государыня, Анастасия Николаевна, голубушка!

Будучи сыном своих высокопоряд очных, благородных, однако давно почивших родителей и ради общерусской идеи дерзнув покуситься на жизнь недостойного супостата, я брошен в застенки, томлюсь, стойчески жду заведомо несправедного судилища и не только не смею молить Провидение относительно некой возможности удостоиться некогда чести стать

членом Вашей с Сигизмунд Спиридоновичем семьи, а не мыслю даже увидеть Вас в нынешней инкарнации – столь невзрачно мое настоящее и призрачно и неприветно грядущее». Эт сетера.

«Вас рвется видеть какой-то следователь»,– вошел, козыряет Орест Модестович.

«Насчет, извиняюсь, чего?»

«Говорит, что по делу».

«По делу? Да по какому?»

«По вашему».

«А – в чинах?»

«Три звездочки-с. Маленькие».

«Гоните в три шеи,– велел я Оресту Модестовичу. И добавил: – Совсем уже обезумели – лейтенантов шлюют!»

Был Андропов. «Отлично, отлично»,– все констатировал он, читая мою болванку.

Перебелив, скрепляю пространной подписью и печатью.

Забрав, обещал, что отправит завтра. Ушел, чтобы тут же вернуться.

"?" – удивился я.

«Добавьте относительно рекомендаций».

И я приписал постскрипtum: «Рекомендации прилагаю».

Фланируя архангельскими бастионами, слушал шум корабельных роц, стук дрозда и слегка пополнял гербарий. Как дивно смотрятся на куртинах России россыпи белых галантусов, желтых примул, фишашковых хризантем; как чинно свидетельствуют они благосклонному Вам свое безоговорочное почтение.

Помимо меня в настоящем узилище содержится группа бывших советников уровня тайных: буфетчики, кладовщики, кучера, приживалы и проч. Мздоимцы, мздодавцы и казнокрады, они проштрафились, главным счетом, на ниве Кремля. Не желая ронять себя ни в своих же, ни в их глазах, я, разумеется, не намерен сходить с сим уголовным мирком и на прогулках держусь в несомненном обособлении. Вместе с тем полагаю полезным исподволь наблюдать за нравами этой братии, тем более что в суматохе ареста я так и не возвратил владельцу спаренные бинокляры. Наследники заповеданных нам беллетристами натуральной школы традиций, разве не призваны мы выявлять свищевые нарывы общества, дабы в последующих трудах врачевать их, бичуя.

В субботу и воскресенье, дни посещений и передач, к нашим вельможным пройдохам наезжают обычно их жены и, уединясь с ними в камерах, повергают своих благоверных в вопиющие ласки. Сегодня суббота. Однако нынче она совпала с днем закрытых дверей, и несмотря на протесты узников, жен не пустили. Взойдя ввечеру на пустую и замшелую сторожевую вышку полюбоваться родимыми далями, замечаю, что несколько взяточников собралось в отдаленном секторе сада вблизи забора и через узкую щель в нем по очереди сношаются со своими супругами, находящимися по ту его сторону. Поспешаю за оптикой.

Вообразите ж мое неприятное потрясение, когда в объективе бинокляров возникла картина, достойная кисти Гойи или резца Родена: там сношались не в первом значении слова, как мне по наивности померещилось, а во втором – сладострастным.

«А-а, вот ты какая, неволя»,– подробно рассматривая потуги и корчи сторон, догадался я. И впервые мне было жаль и самих проходимцев, и их развращенных разлукою половин.

На втором этаже, где подсобки, набрел на божественно темперированный клавир. Сел – открыл – тронул чуткие клавиши – взял десяток-другой аккордов и несколько музицировал, изумив капитан-каптенармуса и прапорщика от бухгалтерии непредвзятостью пианизма. Звучали Сальери и Моцарт, Сен-Санс и Лист. Рыдал, сотрясаясь всем существом. Выслушав, развели валерьяновых капель и препроводили в комнаты. По доброй традиции в понедельник всегда выдают комплекты свежих пижам. Вот и нынче.

Прилеж полистать новомодного романиста Максимова, выступающего с острой критикой строя, но вчитаться не довелось: мухи, мухи – окошки-то все нараспах, беда, а закрыть – задохнешься. И чтоб не лежать без пользы, пытался представить в уме единицу с шестьюдесятью нулями, да тоже не преуспел. А ведь именно столько по данным последней переписи обитает на нашей планете мух. Миллион в восемнадцатой степени! Квадриллионы! Секстиллионы! Если это не высшая математика, то где же она?

То в спальне, то в кабинете качнется чуть-чуть абажур, зазвенит мельхиоровый подстаканник, подобие сквозняка шевельнет пожелтевший тюль, и чувство не то что бы смутной – а как бы неопределенной тревоги – тревоги и жалости – жалости и томленья – томленья и неги – то есть, в сущности, целая гамма чувств посетит Вас и здесь, в неволе. Гамма эта, а лучше сказать – просто чувство – чувство это такого рода, что лучше не бередить его, ибо разбередив, обречешься ему целиком. Покажется, будто что-то кому-то должен, да позабыл – и кому, и что; будто надо куда-то пойти ли, уехать, но тоже – куда? Сладко, томно. Сравнимо ли данное чувство с тем, которое Вы испытываете, посещая лавку кожевника, переживая мелодии прежних, более очаровательных лет, а также впервые за много месяцев отведав некоторых специфических кушаний: сельдерей, голубику со сливками иль латук? Лишь черствый сухарь в человеческом образе не заметит сходства двух перечисленных чувств, хотя первое и пронзительней, и напрасней.

Уполномочен вручить иностранных газет и похожий на собственную фамилию, как близнец, прибывает андроповский нарочный Федорчук.

«Покушение на русского президента».

«Вместо Местоблюстителя – кукла».

«Стрелявший – внучатый племянник сталинского министра».

Эти и им подобные шапки горят со страниц тайландской, бельгийской, тайваньской, чилийской, британской и прочей прессы. Публикуются отчеты с места события и моментальные фото различной давности.

Вот – правительственный пикник в Нескучном; я сплю в коляске; Абакумов, сидя на корточках, раздувает угли для шашлыка; Ягода играет с Ежовым в шашки; Фрунзе с Якиром склонились над картой местности; Орджоникидзе откупоривает гурджаани. Я люблю это старое фото не только за то, что оно навевает мне детские грезы, но и за то, что кроны запечатленных на нем деревьев отбрасывают на траву пятнистую тень, и если забыть, то можно подумать, что действие происходит на леопардовых шкурах.

А тут я довольно уже солидным подростком стою на трибуне ленинской усыпальницы, приветствуя демонстрантов. По левую руку – Лаврентий, по правую – дядя Иосиф и его капризная дочь Светлана, будущая посланка.

А вот я почти совсем повзрослел и с револьвером в руке шагнул навстречу брежневскому экипажу. На третьем плане видны гротескно перекошенные протестом физиономии держиморд, а если толком взглядеться, заметишь и вылетающую из отверстия пулю. При всей своей динамичности снимок как бы вечерен – он тускл и нечеток. К тому же неправильно выбрана точка съемки, банально кадрирование. Но в принципе расторопности западных корреспондентов не устаешь поражаться. Однажды на светском рауте в Белом Доме министр нашей культуры Екатерина Фурцева позволила себе лишнюю рюмку и стала куражиться. Взобравшись на стул и стоя на этой импровизированной эстраде спиной к собравшимся, она наклонилась и вызывающе заголила круп. Назавтра во всех зарубежных изданиях – пикантные фото. А наши молодчики, аккредитованные в Колумбийской округе, остановить мгновение не успели и порадовать своего читателя им, как водится, было нечем. «Раззявы!» – гремел Громыко, поведавший мне когда-то сей случай.

В доставленной Федорчуком иностранной прессе публикуется и мое тюремное интервью. Стоимость одного экземпляра газеты варьируется от нескольких экуэлей до нескольких бирр.

Спросил пластилину и гипсу и где-то вблизи казармы предавался лепке, пленяя болезненное воображение матросских масс не столько многофигурностью композиций, сколько здоровой эротикой фабул и форм. По окончании – все роздал. Нет высшей награды художнику, нежели зреть, как трепетно вожделеют к его искусству заскорузлые руки ратного простолюдина.

Любая болезнь чревата тремя продолжениями.

1. Больной умирает.
2. Больной выздоравливает.
3. Больной продолжает болеть.

Четвертого не дано.

(За лютней.)

Пришли и сказали: в приемной находится следователь первого ранга, направленный Кардинальным Хранителем; просит принять: утверждает, зашел просто так, покалякать.

Принял. Сначала калякали о состоянии моего дела. Обговорили его детали и выяснили, что ежели не отыщется смягчающих обстоятельств, то последствия могут обрести крутой оборот – до высшей меры включительно. Позже коснулись природы некоторых отвлеченных сущностей. Оказалось, мы оба завихрены в приблизительно том же самом круге проблем и вопросов. И это закономерно. Интеллектуальные прогрессисты в хорошем аспекте понятия, мы варимся в едином соку современности, в буче ее важнейших событий, в котле, где вываривается будущее планеты.

«Курите»,– угощал меня следователь.

«С моим удовольствием»,– возражал я ему, насвистывая дуэт Адольфа и Евы из оперы «Нюрнбергский процесс».

«Вот, кстаги, и спичка». Он чиркнул ею о коробок.

«Премного»,– сказал я, прикуривая,– благодарен».

«Пустое»,– ответил следователь.– Не стоит,– заверил он,– благодарности».

Воскурив, говорили о разном.

«А как вы мыслите»,– спросил меня собеседник,– где, все-таки, более курят – в провинциях или столицах?»

Пожав плечами, я отвечал пространно. Отметил, в частности, что курение вызывает гипертонию, и методом свободных ассоциаций перешел к рассуждению о гипертрофии отдельных органов у различных народов, которая определяет специфику их природных склонностей. У австрийцев, положим, этих бурно вальсирующих ипохондриков, подаривших миру не только выдающихся военачальников вроде Гитлера, но и замечательных меломанов типа Радецкого, крупные уши. У признанных ходоков датчан – большие лодыжки, ступни.

«А у Петра Первого, у Петра»,– химерически – даже не захихикал, а – как-то весь тихо и мелко затрясся мой следователь.

Холодно я поглядел на него: «Дружище, возьмите себя, ради Бога, в руки. Подумайте, что подумает юная гвардия, свежая поросль: на плацу-то ведь все слышать».

Гость осекся, нахохлился.

«Нельзя же так, право»,– наставничал я. – На нас, понимаете ли, равняются, а мы тут себе скабрезничаем. Не годится. Давайте уж как-нибудь посерьезней». Желая добавить горячей воды, ногою я отвернул соответственный вентиль. Хлынуло. И, лаская подошвами неясно-упрямую, словно утреннее зизи, струю, задумчиво ухмыльнулся: «Вы не представляете, как щекотно».

«Гневлив»,– отметил гость про себя,– но отходчив».

Беседа струилась. Говоря о национальной гипертрофии органов, заговорили о национальности наших млекопитающих. Как быть: полагать ли, что кот, с рожденья живущий в якутском квартале Гонконга,– якут, а живущий в чукотском – чукот? Или оба они англичане? Иными словами, имеют ли право на самоопределение и животные? Или они полнокровная плоть от плоти того народа, который их кормит и ест? Нужна ли им

автономия? Кто станет искать им корни? И кто оплатит такие искания? Возникнут некие меценаты, иль бремя и этих исследований ляжет на хрупкие плечи налогоплательщиков? Национальный вопрос постоянно был связан с вопросом о перенаселении суши, а тот, в свою очередь, также требовал своего решения. Теория Томаса Мальтуса о насильственном переселении душ в лучший мир на практике оказалась неэффективной. Пошли другими путями. В Индии, например, где нередко беременеют даже мужчины, проводятся массовые кастрации, однако и это не помогает. Аборты? О нет, мы не могли обойти молчанием судьбы их жертв. Правда, более нас волновало, как быть с еще незачатыми, что – наперекор их будущей воле – будут зачаты и рождены – и весь век свой прозябнут – пробедствуют – проскрипят протезом всего организма в лифтерах – механиках – в многоуровневых тетках – промечутся в мышеловках собственных тел. «Кто, скажите на милость, кто защищает сегодня права сих жертв – жертв слепой, неумной похоти их эгоистичных родителей?» – кипятился я.

Пообещав, что завтра заглянет по данному поводу в свод законов, а после – опять ко мне, следователь откланялся.

И поступил по обещанному. (Позднейшая сноска. С одной стороны, здесь следует, вероятно, сказать хоть пригоршню слов о его внешнем облике, а с другой стороны – зачем? Детей-то нам с Вами с ним не крестить. И потом – велика ли птица. Мне лично он был до того ни к чему, что, не расслышав имени, каким он, впервые войдя, назвался, я и переспрашивать не пожелал. Ну что нам нужды, каков он был, этот следователь – проследовал ведь. ан нет, так и хочется выхватить из кишачего воспоминаниями мозга парочку броских метафор на благо словесности. Выхватим. У следователя были великолепно ухоженные когти мерзавца, костистые, испитые виски негодяя, а надменно-выбритое, бритвенно-острое лицо подлеца дополняло картину.)

«Вот видите, дорогой мой, – подвел я итоговую черту, когда он признался, что в своде законов нет ни статей, ни параграфов, касающихся гражданских прав жертв родительской похоти. – Филькины суть они грамоты, своды ваши».

Он согласился, принес извинения, а потом вдруг признался, что грешным делом кропает вирши. Зная каким-то образом о моей причастности к сферам Парнаса, просил прослушать одно из произведений. Я откинулся поудобней в плескалице и принял благостепенную позу Державина, экзаменуящего стихоплетов лица: «Валяйте». Смотрите же, что зачитал мне мой «Пушкин».

На некотором вокзале

Спросил: «Где два нуля?»

Мне молча указали

На дверь из хрусталя.

Войдя в нее, я ахнул,

Поверьте, неспроста:

Там «Лунную сонату»

Квартет играл с листа.

Росли там розы в вазах,

В вазонах розан рос,

Сиденья ж унитазов

Покрывл гагачий ворс.

И я вскричал недаром:

«Да здравствует клозет!

Журчанье писсуаров,

Шуршание газет!»

«Нечто чудовищное в своем цинизме, – открылся я следователю. – Мало того что вы осквернили память величайшего из глухих и глушайшего из великих, поместив его исполнителей в общественную клоаку. Мало! Вы – и это еще удручительней – воспели ее самое. Воспели в лучших традициях силлабо-тоники. Вы довольно-таки талантливый

беспардонник, любезнейший. Вашими, сударь, устами фекалии б кушать, позвольте уж доложить». И, разбранив его таким образом, призвал немедленно удалиться.

(Позднейшее примечание. Стоит Лето Господне две тысячи тридцать шестое. На кремлевском дворе – жара. Но в бассейне Сената, где я держу корректуру читаемого Вами альбома, мне хорошо, прохладно. Оглядываясь на нашу беседу с позиций своего зарубежного опыта, я сожалею, что так огульно охаял, отбрил молодое еще дарование, каковым, разумеется, был мой следователь. Ибо там, за кордоном, где грани между изящным и неприличным давно размыты или разобраны на баррикады, взгляды Вашего корреспондента на поэзию претерпели необратимую трансформацию. Во многом тому способствовал Колин Лукас, мой друг и британский историософ, автор фундаментальной «Истории ватерклозетов». В ней, написанной великолепным верлибром, скрупулезно, но популярно прослеживается вся родословная канализаций – от допотопных, пещерных, и – через римские акведуки – до совершеннейших очистительных агрегатов последних эр. Невероятно трудно, если вообще возможно, определить жанр колиного произведения, т. к. на фоне увлекательных описаний различных узлов и конструкций выстраиваются хитросплетения эпохальных дворцовых интриг, в коих судьбы изобретателей, зодчих, золотарей так или иначе переплетаются с судьбами императоров и сановников, куртизанок и королев, и по мере усовершенствования сливных бачков, унитазов, отстойников и других систем сброса, постельные сцены тоже становятся все изысканней, изощренней. Да и не только постельные. Ведь соития зачастую имеют место в тех же клозетах, где в силу реальности – о нет, литературные мечтания следователя были слишком уж утопичны! – сиденья не покрыты даже свиной щетиной. А в некоторых общественных санузлах они просто оторваны, так что не засидишься. И героев встречают не розами, не оркестром, а более будничными, более характерными для уборных звуками и амбрэ. Например. «В туалете томительно пахло продукцией чужого метаболизма», – стоически информирует Лукас, описывая взаимоотношения королевы Марго и золотаря Гортензио. И автору безоглядно веришь. Так что же это – поэма? исследование? эпос? Критик влиятельной хиросимской газеты «Цусима» назвал творение Лукаса учебником страсти и чистоты; литературный обозреватель дублинского еженедельника «Финнеган'з Уик» – очередной «Илиадой»; а я, написавший рецензию для «Морнинг Стар», озаглавил ее «Веяние времени» и вынес в подзаголовок «История ноздрями ассенизаторов». Успех произведения можно было сравнить лишь с успехом таких монументов духа, как мемуары Киссинджера и записка Иди Амина. Вместе с тем встречаются еще люди, готовые утверждать, будто подобная литература не очень-де хороша, потому что громоздка. Не требует доказательств тот факт, что все они подкуплены международной реакцией. И напрасно какой-нибудь не в меру прыткий эколог, ярясь, недвусмысленно намекает, что надо урезать печатанье толстых томов, т. к. культурный мир задыхается якобы без туалетной бумаги. Напрасно! Здоровые силы общественности отчетливо сознают, что истинная культура обойдется и придорожным камнем.)

Он щелкнул о туалетный столик тугою визитной карточкой и ушел. От нечего делать я пробежал ее содержание. Казенной египетской клинописью: «Следователь по особо важным проступкам». А ниже – изящной вязью – «Орест Модестович Стрюцкий».

Опершись мужающим подбородком на подлокотник плескалица, долго мыслил. Зачем так случилось, что следователь мой, начальник моей тюрьмы и конногвардеец, с которым сгонял я в Свибловой башне партею на бильярде, имеют между собой столько общего? Что это – совпадение или коварная подтасовка? Кто все эти Оресты Модестовичи? Просто однофамильцы и тезки? Или просто одно и то же лицо, триединством своим символизирующее три измерения моей неволи? А может быть, все это – подобно всему остальному – просто непознаваемо, агностично? А впрочем, чего там мудрствовать, сказал я себе, приступая ужинать. Как есть – так и будет.

Жизнедеятельность всякого Микеланджело, любого Миклухо-Маклая, Пржевальского или Кобылина-Сухова обязана протекать на фоне свершений его эпохи.

(Орудья мухобойкой, истребованной у каптенармуса.)

Утром залюбовался хлопотами отряда, работавшего по выносу и проветриванию наших матрацев, подушек и одеял, а полдень застал меня в здешней библиотеке, где взял «Виндзорских проказниц». Уважаю я этого Вильяма, говоря не чинясь. Страшно творческ! Вернулся с пьесой в камеру, освежаю забытые образы. В дверь просовывается голова моего тюремщика Стрюцкого: «Извините, к вам там Виктория».

«Виктория Регия? Королева? Как кстати! – И хлопнул в ладоши, заботливо и обильно увешанные гроздьями сочных перстов: – Просите!»

«Вы, кажется, поняли не совсем адекватно, – сказал Орест. – Там Виктория Пиотровна».

«Ах, только-то. Что ж, пусть заходит, коль уж приехала». Я сделался раздосадован.

Легковесно сбегая на первый этаж, Стрюцкий стеком сыграл на опорных струнах перил привычный дизз и то же мажорное до-ре-ми отщелкал отполированными ногтями на ксилофоне зубов. Настроение у подпоручика было приподнятое: в скором времени он на двадцать четверо суток убывал в инспекторскую поездку по лагерям и тюрьмам Абхазии, а меж тем застарелый его садизм по-прежнему протекал в скрытой форме, и доктора ни о чем не догадывались. Знай они, что в художественных галереях Орест подолгу простаивает перед вариациями академиков на тему «Избиение вифлеемских младенцев»; что во всей всемирной хореографии ставит на первое место хачатуряновский «Танец с саблями»; а из поэтического наследия наиболее возлюбил четыре некрасовские строки – «Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную; там били женщину кнутом, крестьянку удалую», (Нравилось и: «Штукатурка валится и бьет тротуаром идущий народ» – того же автора. Но гораздо меньше. Гораздо) – они бы переполошились, забегали. Да вот – не знали.

С казенной учтивостью близясь к Виктории Пиотровне, сидевшей на старосветской софе в Голубом вестибюле, Орест фантазировал в соответственном духе. Эх, будь его воля, с каким упоением, извращенно, он взял бы ее сейчас, расфуфыренную пухлую куклу – тут, прямо тут, на помпезных пуфах, без долгих слов. О Господи, было бы так хорошо! А после, пресытись, отдал бы на поруганье сверхсрочной матросской черни.

С улыбкой кикиморы Виктория поднялась навстречу Оресту Модестовичу. Была она из той большеротой породы дурнушек, кому улыбка не то чтобы не идет, но кого она поистине безобразит. «Тошнит смотреть!» – пронеслось у Стрюцкого с непривычки. Дебелая и напмаженная, Виктория внешне напоминала Оресту типичную продавщицу разбавленного бочкового квасу, которой она и служила когда-то; однако теперь планы ее были довольно государственного устремления.

По разным причинам – то бурная юность, то тревожная молодость, то беспокойная старость – она не получила столь модного в наши дни классического образования. Два лишь года любительских курсов по вышиванию гладью имелось у ней в активе. «Ученья немного судьба ей дала – два года, как два за плечами крыла», – говаривал Леонид стихами, подтрунивая над женой. Но глупа она не была нисколько, даже если казалась. Незаконнорожденная дочка князя и уличной девки, она унаследовала от родителей лучшие качества русских низов и верхов, как в реторте переварив в себе эти свойства. Поэтому если отец ее отличался умом благородным, а мать – житейским, то мысли дочери их носили уже оттенок житейского благородства, благородного практицизма. (А что до влияния на нее отчима, архангельского дьячка Пиотра Фалалеева, то дать своей падчерице что-то, помимо отчества и девичьей фамилии, он ничего не сумел: не одобряя замужества матери, Виктория никогда не жила в фалалеевском доме; из принципа. А к тому же отцовский ей импонировал больше.) Идея, владевшая существом Виктории Пиотровны нынче, не составила исключения и была – избежать назревавшего политического скандала любой ценой.

В связи с покушением на Леонида кремлевские деятели разделились на «ястребов» и «голубей». «Голуби» – их возглавлял сизоносый Тихонов – хотели признать стрелявшего недееспособным, освободить без суда и следствия и снова взять на поруки. «Ястребы»

наоборот требовали судить террориста со всевозможной строгостью. И сам Леонид – ее либеральный, добрый и вечно чем-то довольный Лео, душа компаний, песенник и балагур – оказался не просто в лагере «ястребов», а едва ли не предводителем их. И это виделось Виктории несправедливым и гадким. Попытки убедить мужа в том, что репрессировать родовитого сироту значило бы поступить негуманно и сесть одновременно в историческую калашу, приводили только к семейным драмам.

«Прости его, дорогой, – говаривала Виктория за ужином. – Палис – он такой миляга, ведь он же тебе ничего не сделал».

«Да, но если бы верные люди не приняли меры предосторожности, твой миляга изрешетил бы меня как миленького», – ворчал Леонид.

«Так не изрешетил же, не изрешетил!» – экзальтированно шептала она супругу, меж тем как тянулась и льнула к нему.

Тот властно, хоть вежливо, отстранял ее. А ночами, замкнувшись в своем кабинете мореного граба, трагично – а-ля Шаляпин в «Ла Скала» – рыдал над гранками мемуаров. Ему представлялось горьким осознавать, что за все то полезное, что сделал он на своем пути и что подробно было описано в них, его, незлобиво, мягкого функционера, выбившегося в люди из обыкновенных швейцаров, – рубаху, в сущности, парня – застрельщика многих поблажек, амнистий и льгот, – его б самого застрелили, как мелкую куропатку, – и он бы уже никогда ничего не чувствовал, не желал, не участвовал в общем процессе – невероятно, сплошные не – прободение личности, тьма. Хотя с той поры, как в день ангела подчиненные вручили ему ордер на лучший участок возле кремлевской стены, с души у него и спал какой-то неясный камень, неизбежное в голове по-прежнему не укладывалось. Жизнефил, оптимист, дед тринадцати внуков, он недолюбливал смерть; она виделась ему унижительной. Бытие после смерти? В такое почти не верилось. Такое было бы слишком волшебным. А впрочем, наука движется. Вот, имеют же место в Африке некоторые племена и народы, что смазывают своих мертвецов особым составом, и те худобедно, а действуют, остаются в строю, голосуют. Про это ему сообщил господин Каунда. В прошлом по роду занятий шаман, а ныне – премьер-министр Замбии, он вызван был в Эмск для доклада о состоянии африканской народной мудрости. Доклад назывался «Черная магия Черного континента», имел успех, и Каунду представили к «Знаку Почета». Получая награду, расстрогался, бил себя в грудь, клялся в преданности. Белки его глаз голубели. Негр как негр, каких миллионы, но лично ему Каунда чем-то понравился, и после официальной части Леонид посетовал, что с годами недомогает все больше, и выразил опасение, что настанет момент, когда недомогание переможет. «Масса добрый, – сказал тогда этот Каунда. – Замбия – помогать: масса жить вечно». И дал Шагане, что присутствовала при разговоре, склянку с каким-то снадобьем, объяснив: в случае, если «масса» занеможет совсем, втереть ему повсеместно. На радостях Леонид принял лишнего, и прием прошел в теплой, дружественной атмосфере. Когда же его на Святки хватил Кондратий, то будучи совершенно уверен, что Каунда – германский шпион и мазь его – сплошная отравка, от втирания уклонился. Исповедаться также не пожелал. А на Пасху ему стало так худо, что всем – в том числе и ему самому – показалось: он умер. Врачи разводили руками. Тогда, не спрашивая ни у кого разрешения, втихомолку, Шагане применила каундову мазь. Леонид словно ожил. Он посвежел, раздумячился, члены его окрепли, и через два дня на третий Припарко разрешил ему медленный моцион. Хотя какой же еще, ведь прежней резвости как не бывало. Заметил в себе Леонид и другие странные изменения. Сделалось, например, безразлично, что есть и пить, есть или пить, есть и пить ли вообще, спать или бодрствовать. Он утратил чувствительность к боли, но – что, правда, не очень и радовало – не утратил мужского первичного признака: мог. Да и вообще его мало теперь что радовало; хоть и огорчало небольшое. И если он предавался на публике тем или этим эмоциям, то больше из вежливости. Так хороший швейцар, отворяя дверь перед хорошими господами, широко улыбается, пусть для радости у него нет никаких оснований.

Когда, гуляя кремлевскими переулками, выбредал он к какому-нибудь собору, юродивые, кучками гревшие на апрельских припеках свои гнойники, начинали хихикать, шушукаться и визжать, будто сборище недотыкомок иль енотов. Неуважительное отношение юродивых, которым Леонид никогда не отказывал в трудовой копейке, виделось ему нелогичным.

«Чего смеетесь?» – спросил он, остановившись как-то возле одной из таких живописных групп, сидевших на папертях.

«Как же, батюшка, не смеяться! – по-петушиному закричал ему бойкий, лет тридцати, старик, по причине волчьей болезни владевший только огрызком физиономии.– Как же, мил-человек, не смеяться: мертвяк-мертвяком, а разгуливает!»

«Кто – мертвяк?» – взглянул Леонид окрест.

«Ты, ты мертвяк!» – прокукарекал старик.

И когорта убогих, брызжа заразной слюной, покатила вся со смеху вниз по лестнице прямо к его ногам. Не желая портить компании, засмеялся и Леонид. И, побалагурив с лохмотниками еще с полчаса, дал им рубль и откланялся.

«Боже милостивый,– мычал он по тем кабинетным ночам, размазывая слезы желтеющим в сумраке кулаком.– Ленин умер, Иосиф умер, Никита Сергеевич тоже. Ужель недостаточно? Неужели и я? Да что ж это делается! И – за что?»

Но и слезы его были неискренни. Они были словно бы не его. И он даже не понимал, зачем плачет.

Не спалось и Виктории. А когда и спалось, то на редкость кошмарно. Главными действующими лицами кошмаров являлись: я, которого возводили на эшафот, и палач. Моля оказать протекцию, я всеми моими руками ветвился по направлению к ней, Виктории, а палач методически обрубал мне ветви коротким самурайским мечом. Я снова ветвился, а палач опять обрубал. И по желобкам на мече его струилась моя прозрачная кровь.

За утренним кофе Виктория, мысля разжалобить мужа, поверяла ему свои сновиденья, однако моя судьба более не волновала Местоблюстителя: эгоистически он поглощен был самокопанием, размышлениями о своей вероятной кончине.

«Спаси его,– настаивала Виктория.– Вспомни, чей он племянник, чей внук, правнук, сын. Вспомни всю его родословную. Подобной генеалогии днем с огнем не сыскать. И не забывай, что сказал Ивану Васильевичу (Здесь – Грозный) тот француз, Нострадамский». (Правильнее – Нострадамус.)

«Что?»

«Будто не знаешь». (Виктория имела в виду документально подтвержденное откровение Нострадамуса Грозному о том, что если последний из рода Дальбергов (Дальбергия) будет казнен, убит или сильно обижен, то Кремлю не стоять.)

«Ерунда,– угрюмо хорохорился Леонид.– Бабушкины побасенки». А у самого на сердце скребли кошки страха, сомнений, и думалось: «А вдруг – правда?»

В надежде, что снишет поддержку в медицинских кругах, она пожаловалась на черствость супруга светиле Припарко, но тот лишь откашлялся: дескать, а что вы хотите, Виктория Пиотровна, старость – не младость, природа свое берет, периодикус климактерикус. И как-то так гаденько погладил ей ягодицу: Виктория проходила поликлиническую профилактику и в тот момент была без всего, потому что Припарко взвешивал ее на весах. Она отшатнулась – попятилась – и дала эскулапу неловкую оплеуху.

«Стойте прямо,– сказал он ей.– Весы очень чуткие». А когда осмотр завершился: «Недурно, совсем недурно. Полпудика, считайте, за лето долой. Так, маточка, и держать,– напутствовал он Викторию.– Не забывайте дружить с физкультурой, да и в иных отношениях не робейте. Дама вы, извините за откровенность, в соку, импозантная, так что вот так вот».

Посещение лекаря оставило на душе досадный осадок, и, выйдя из Пыточной башни, Виктории мучительно захотелось под душ – смыть невольный позор пытливых

припарковских прикосновений, нескромных взглядов. И комплименты его, все эти «маточка», «дама в соку», «полпудика», тоже были ей гадки, однако каким-то загадочным образом и волновали, и вкрадчиво нежили, и т. д. И – странно, зачем он сказал – «не робейте»? В каком, то есть, смысле? И что это за иные еще отношения? Минутами ей казалось, что она понимает, и что это за отношения, и на что намекал ей Аркадий Маркелович, но как только ей начинало это казаться, она инстинктивно отшатывалась от своего понимания и убеждала себя, что Аркадий Маркелович не мог намекать на подобные пошлости, что это она сама так испорчена, что понимает его слова в столь необычном ракурсе, что о нем и речи не может быть. Куда там! Весна ее беззаботных интрижек с кремлевскими сослуживцами мужа давно отзнобила. Они – опустились, заделались типичными ремоли, а сама она – подурнела, вылиняла, и заглядываться на нее практически перестали. Порою – с годами, впрочем, все реже – она пыталась вообразить, как ловко – как именно ловко – устроено все в этом ракурсе где-то в арабских странах, где можно за скромную плату прибегнуть к услугам каких-то растленных типов, причем совершенно инкогнито, не снимая чадры. Об этом ей сообщали посольские жены, поднаторевшие там во всех ракурсах. Но в Эмске, где она проживала безвыездно, отчего он казался ей страшно провинциальным, о всяких таких арабесках оставалось лишь грезить. Затевать же преступную связь с каким-нибудь телохранителем ей совершенно не улыбалось. Она презирала и челядь, и офицерство. Люди данных сортов мнились ей плебейски нечистоплотными. И в то же время казалось, что если она сойдется хотя бы с одним, то потом не удержится и захочет сойтись и с другим, и с третьим, и после покатится вниз – все куда-то вниз, по наклонной плоскости, по очереди вверяя себя всем из них. И уже не она будет их презирать, но – они, кобели и мужланы, запрезают ее всей холуйской их сутью и, топча ее женскую гордость, как половую тряпицу, окажутся по-своему правы, ибо она станет им – как раба, как гетера. И грязь их войдет в ее плоть неотмывно, и она захлебнется в тине всеобщего порицания. Все это, разумеется – говоря фигурально. А говоря вообще, Виктория опасалась, что ей не очень-то и нужны означенные отношения – с кем бы то ни было – что она теперь никуда не годится – что если ей подвернется все же вступить в них, то более двух-трех содроганий кряду она, вероятно, не выдержит – скиснет и оконфузится, и будет посрамлена. Нет-нет, Виктория Пиотровна решительно не понимала, на что намекали ей Аркадий Маркелович и ему подобные; точнее, отказывалась понимать. (И напрасно. Ближайшее будущее покажет, что опасения Виктории Пиотровны были безосновательны.)

А жизнь выдвигала на авансцену все новые задники. На стороне моих «голубей»-хранителей выступили кремлевские феминистки, чьи передовые фаланги вобрали в себя наиболее преданных мне служительниц Аполлона, эмансипированных от бессмысленной верности импотентствующим мужьям лично мною. Воображаю, сколь яр и праведен бывал гнев феминисток, как накалило у них на сердце, когда они составляли очередную петицию в адрес моих ястребиных хулителей или воззвание к мировой общественности. Круги общественности откликались – апеллировали к главам своих многочисленных государств – а главы телеграфировали обратно в Кремль. Цепь замыкалась, спираль раскручивалась. Движение за освобождение автора строк приобретало необходимый масштаб, глубину дыхания. Последнюю ощущал я сам, получая сочувственные бандероли со всех концов поднебесной. Случалось, звучал флажолет, и на архангельский двор въезжала почтовая колымага, груженная отправлениями исключительно на мое имя. Я делался международной фигурой. Огорчало единственное обстоятельство: на бандеролях, которые я в своих сочинениях не раз рифмовал с бандерильями (дань эпохе разухабистого ассонанса), не было марок. Воспользовавшись беспорядком адресата, их, верно, срезывали в одной из инстанций. Как бы там ни было, град критических реплик, несущихся с разных сторон, заставил моих притеснителей дрогнуть, смягчиться, и не далее как вчера, возвратясь ввечеру из Сената, Леонид, подавляя в себе припадок мертвящей косности, – даже и с некоторой, я бы сказал, молодежливой лукавиной в голосе – объявил ей с порога:

«Виктория! Ваша взяла!» И вынул соответствующее постановление. В нем, в частности, предлагалось: «По подписании упомянутым выше узником заявления о лояльности следствие за нехваткой улик похерить».

Словно бы взбалмошная курсистка сорвалась Виктория ко мне в рavelин, беременная благою вестью. И, летя в открытом кабриолете, ритмично вонзая вознице-телохранителю острие зонта меж плебейских его лопаток, она радостно узнавала знакомые с детства версты отцовских угодий и деревень с несколько покосившимися теперь плетнями. И, нетерпеливо вертясь на пружинистом заднем сиденье своем, – острием ли проросшей пружины, шершавой ли шляпкой обивочного гвоздя, ее заусенцем – нечаянно В. продырявила на себе нейлоновые панталоны. И не заметила. Наоборот, Орест Модестович, ведший Викторию Пиотровну вверх по лестнице так, как предписывали правила хорошего тюремного тона, а именно – слегка отставая, чтобы, если ей станет дурно и она станет падать назад, предупредительно ее поддержать, – Орест, говорим мы, Модестович Стрюцкий наоборот – заметил. Ведь, к сожалению, женская мода сегодня – а моде Виктория Пиотровна неукоснительно следует – не отличается максимализмом. Сказать напрямик, наотмашь, юбка местоблюстителю – к сердцебиению всякого полноценного сердцеда – распахивала на удивленье широкие перспективы. Вдобавок в руке у Ореста Модестовича имелось заранее припасенное зеркальце, и, походя манипулируя им известным во всех рavelинах образом, он легко уточнял неявные детали викторианского туалета. И прореха ли на панталонах Виктории Пиотровны, особое ли устройство застежек ее чулочного пояса, своеобразный фасон ли разреза в шагу тех же самых узорчатых панталон, или все это вкупе – во всяком случае что-то подействовало на воображение Стрюцкого столь, что ему самому чуть не сделалось дурно. Брезглив, он обычно не обращался к услугам перил, и правильно делал; но тут – тут его повело, покачнуло, и он обратился.

«Скрутить бы, – лелеял он невозможное, сглатывая слюну, – швырнуть бы ее, студенистую телку, на лестничный марш – вытряхнуть к чертовой матери из дорогого тряпья и, откинув через перила на сетку лестничного пролета, словно лапшу на дуршлаг, довести до овечьего бляенья, до поросячего визга включительно». Не чужд скотоложества, Стрюцкий для внутреннего пользования выражений не выбирал.

Ко мне постучали.

«Войдите!»

Вошла дебелая, расфуфыренная, напоминающая продавщицу разбавленного бочкового квасу. Раздались взаимные здравницы. Я сидел по-турецки на андалузском ковре и строил ацтекскую пирамиду. Лик мой украшала карнавальная полумаска гигаку из Токио.

«Что за пречудные кубики! – умилилась вошедшая. – Вам подарили?»

«Ах, если бы подарили, Виктория Пиотровна, если бы подарили! Дождешься ль подарков, когда кругом – себялюбие, эгоизм. Благодарение Богу, здесь сносная игротка. Только знали бы вы, до чего унижительно пользоваться казенным, чужим – чьим-то».

«Как мило он куксится, – мысленно залюбовалась гостья. – Смотрите-ка, у него совсем по-детски дрожит подбородок. О, сладкий! Такой весь крупный, а нюнится по пустякам. Да который же ему теперь годик?» – подумала эта пучеглазая дама с крупным, слегка отвисающим крупом на мощных ногах. Нет, она не могла припомнить. Верней, сосчитать. По одним из ее представлений я был вполне мальчуган; по другим – не вполне. Ей казалось, будто впервые она услышала обо мне чрезвычайно давно, приблизительно в детстве. Может быть, от отца, Феликса Феликсовича. А быть может, отец рассказывал не обо мне, а о Григории Александровиче, моем деде? Или о ком-то еще из легендарного рода Новых? Чтоб не запутаться в выкладках, она решила считать, что слышала обо мне еще в прежней жизни. И поразила: «Вечный прямо какой-то. Извечный наш сирота».

«Я презентую, – сказала Виктория, – презентую вам кубики. Не грустите».

«Не тратьтесь-ка вы понапрасну, – сказал я ей, отворачиваясь к окну, за которым – в разрывах туч – голубело. – Не вводите в изъян. Я верю, вы – чуткая, славная, только

кубики – не решение вопроса. Подумайте – только кубики, кубики да и только. То есть, конечно, какой-нибудь ординарной личности достало бы и одних кубиков. Даже и за глаза. Но я – вы, верно, слышаны о моем нездоровье – ведь я в придачу ко всем недугам страдаю не только комплексами превосходства и неприкаянности, а и синдромом максимализма. Я, понимаете ли, клинический максималист. И если у меня за душой ни гроша, если я гол как сокол и в долгах как в шелках, то единственно потому, что живу под девизами – не мелочиться! все или ничего! А иначе и смысла нет. Жить-то».

«Я понимаю, – заметила гостья. – Я, кажется, понимаю».

«Нет, Виктория Пиотровна. Вы, кажется, не понимаете, – И отрицательно я помотал головой. – Вот вы собираетесь подарить мне кубиков. Что ж, похвальное рвенье. И я всемерно приветствую ваш порыв. Приветствую и поздравляю. Но кто, извините меня, кто подарит мне все остальное – все те развлечения и игры, которыми обречен я скрашивать свой досуг в сем узилище. Ведь не можете вы одна откупить все те сотни наименований, что выдаются в здешнем игральном. Ибо у вас есть супруг, который – как я дерзаю догадываться – имеет известные основания меня недолюбливать. И он, к сожалению, не допустит подобной прорехи в семейном бюджете. Я прав?»

«Увы, – вздохнула она потерянно. – Не допустит».

«Вот видите, – лишний раз подчеркнул я безвыходность ситуации. – Так что и впредь придется мне пользоваться казенным имуществом и делить развлечения и утехи с уголовными элементами – с презренным жульем. Правда, когда я стрелял в вашего мужа, то был готов и к значительно худшим терзаньям, значительно».

«А – во имя чего, – сказала она и сделала какое-то неопределенное телодвижение, – во имя чего вы решились так осложнить себе – осложнить все на свете?»

«Не спрашивайте, голубушка. История – круговерть роковая. И лица, которых она выбирает себе в исполнители, и творцы, как правило, не отдают отчета в своих поступках – ни себе, ни другим». Я помолчал, давая ей время обдумать мной сказанное, и продолжал: «Любя Леонида почти как отца или брата, я, тем не менее, не раскаиваюсь в содеянном. Ни о чем-не жалеть! – вот другой из моих несменяемых лозунгов – а? Восприсядьте, к чему стоять».

«Значит, – Виктория обнажила в оскале два ряда отличных зубов на присосках и села напротив меня в глубокое кресло, вульгарно расставив ноги, – так значит... »

«Прикройте, пожалуйста, – указал я гостье на нечто вроде шотландского плэда, складчато нислославшее с подлокотника на пол. – А то все видно».

«Простите, – изобразила она фигуру смущенья. – Я думала, вам безразлично».

«Мне было бы безразлично, если бы вы не годились мне в бабушки. Ибо вы вряд ли себе представляете, как тревожит меня возрастная пропасть, которая пролегла между нами».

«Значит, вы – фаталист?» – закончила она наконец повисшую мысль, зло сдвигая колени и набрасывая на них плэд.

«Я – безотчетный солдат истории, дорогая Виктория Пиотровна. Не рассуждать! – вот мой четвертый девиз. И хотя мне, по-видимому, предстоят танталовы муки Сибири, копи да рудники, а может, и худшее, вы напрасно рассчитываете, что я раскаюсь и подмахну вам свое заявление о лояльности, или – что то же самое – прошение о помиловании. Не правда ли, вы приехали с этим?»

«Невероятно! Откуда вы знаете?»

«Элементарное ясновидение. Разве вы не слышали, я был тем самым учеником Вольфа Мессинга, которого он воспитал себе в педагоги».

Виктория ахнула. Тогда я добавил, что знаю также, что ежели не подпишу заготовленное заявление, то меня еще долго, а то и совсем никогда, не выпустят, что, конечно, печально, однако идти против собственной совести – удручительней втрое. «Никаких уступок такому правительству, которое занимается вымогательством у своих заключенных!» – я выкрикнул, будто из зала.

Просительница огорчилась. Отказ мой сотрудничать значил, что международный скандал остается в повестке дней, и феминисткам Кремля, которым она сочувствовала, предстоят дальнейшие хлопоты. Мне стало:

а) По-человечески жаль эту добрую многодетную мать.

б) Очевидно, что не принять в ней участия было бы с моей стороны нелюбезно.

С другой стороны (в данном случае – двери), причисляя Стрюцкого к любопытствующему человечеству, я представил бы на отсечение все что угодно, что тот подслушивает, а то и подсматривает за нами. Не знаю, что сделал бы на моем месте грядущий Биограф, но я предпринял довольно-таки далеко идущий маневр.

«Мне кто-то сказывал, вы с Леонидом коллекционируете канделябры», – небрежно бросил я Брежневой.

«Да, – сказала Виктория. – И гобелены».

«Да гобелены-то что, гобелены – дело такое, одиннадцатое. Вот канделябры – это я понимаю. У нас тут, кстати, – точнее, не тут, а там, – и я указал вторым безымянным пальцем в сторону опочивальни, – наличествует экземпляр византийной работы. Трофеец, по-видимому. С басурманской еще кампании. Вашего, полагаю, пращура приобретение. С виду вроде бы так – обыкновенная жирандоль, а поставишь ее вот эдак-то, на попа – канделябр канделябром. И музыка слышится. Как из шкатулки. Миньон, главным образом. М-м, да пара мазурок. И – пары – пары, знаете ли, турнюры – интернациональные авантюристы – князья – виконты – и свечи – свечи – и тюль – рюшь – розетки – и мармелад в бонбоньерках – и блески тебе – и маски – и вензеля на ложках – а дамы все в мягкой рухляди – в перьях – в духах – шарман – прелестно – и будто бы пожалует императрица – а слухи о паровой машине роятся все пуще – разносятся выражения революция, инфлюэнция, солитер – а из кареты вышагивает глашатай – вышагивает, донося, что в Тамбове фрустрируют суфражистки – все в ужасе – губернатору дурно – отверженная любовница выплеснула в лицо своему улану бокал царской водки – переполох – но подают уж суфле – потроха – жаркое – звенят хрустали – полетели на кухню за уксусом – кто-то крикнул вдогонку: „лакрицы!“ – а гнусный – гнусавый – едва ли не педерастический голос Победоносцева передразнил: „а мокрицы не хочешь, каналья?“ – а тот ему дурака – дурака в ответ – дурак вы, говорит. Ваше Сиятельство, круглый – и душно – душно – годы реакции – декаданс – акмеисты – вся социал-оппозиция по каторгам кашляет – а лакеи лакают ликеры и лепечут друг другу стихи о Прекрасной Даме – и все это галопирует, кружится, даже несется – несется в тартарары, подбоченься: прогуливают – пропивают бабушку-Русь на фу-фу – эх, шантрапа, понимаешь, – и в слезы – в слезы – пуль, говорит, на них жалко. И прочие сантименты, и прочие. А? Так что же, Виктория Пиотровна, – полюбопытствуем? Изящнейшая, смею уверить, вещица, истинный раритет».

Мы поднялись. Галантно, как кастаньетами, хрустнул запястьями и пропустил коллекционерку вперед. Сам двинулся следом. Сейчас, рассматривая Викторину сзади, я думал, что Стрюцкий был по-своему прав; юбка Брежневой, задравшаяся, будто балетная пачка, и будто та же, почти ничего не скрывавшая, выглядела верхом и образцом неприличия. Но странно: хотелось не столько одернуть ее, сколько сдернуть совсем – хищно, резко, как лобный официант сдернул некогда скатерть с обеденной плахи. И только восхитительное самообладание удерживало меня от соблазна. А ноги, обутые в туфли на «шпильках» и облаченные в розовый фильдекос с черным швом, Виктория ставила эдак циркулем, тупо, носками внутрь, что тоже выводило из равновесия. И, вступив за нею в опочивальню, я щелкнул английским замком. Западня захлопнулась.

«Ну-с, Виктория Пиотровна, вот мы и у цели. Теперь предадимся безумству. Пора!»

«Ха-ха-ха-ха-ха!» – развеселилась она нервически и попудрила себе нос.

«Напрасно вы так реагируете», – строго глянул я на нее из-под надбровных дуг и расстегнул на себе ряд пуговиц.

«Но послушайте,— проговорила Виктория неуверенно,— есть же, по-видимому, какие-то нормы, рамки».

«Есть экзистенс, Виктория Пиотровна. И хотим мы этого или не желаем, он предъявляет нам с вами достаточно жесткие требования. Выполнить их — наша задача».

«Да, но видите ли»,— упрямецствовала она, чувствуя, как остатки ее старушечьей чести гибнут в приливе желания.

«Никаких, свет мой, но. И, пожалуйста, поторопитесь. В нашем распоряжении,— я вскрыл брегет,— только два, от силы — два с половиной часа до полдника».

«Вы обещали продемонстрировать канделябр»,— пустила она в ход по-девичьи вздорную отговорку, сама, вероятно, не понимая, зачем тянет время.

Тогда я поглядел на Викторину так, что меж ног у нее стало вдруг горячо и влажно, как в юности, и вся она подернулась зябкой гусиной кожей. И, осознав, что я все равно раздел ее этим взглядом, она со словами «Ах, дайте очки-то хоть снять!» — принялась раздеваться.

«Очки не снимать. Туфли с чулками — тоже. А панталоны — долой. И это. И то». Я был отрывист и лапидарен, словно на линии фронта, огня.

«Господи, сплошная морока с этими сиротами»,— смущенно брюзжала Виктория, выполняя мои приказы. Но интонации выдавали довольство: мое внимание к ее туалетам ей безусловно льстило.

«Что-что? Бюстгальтер? Э-э, приспустите». И мысленно сформулировал пятый девиз: «Обнажать, но со вкусом». И рек ей: «Довольно. Все остальное оставьте. Мы ведь накоротке, по-тюремному».

Виктория стояла у изножья кровати, трепеща всею сутью отлично разношенного семидесятилетнего тулова.

«Прилягте»,— кивнул я на ложе, откупоривая флакон с l'eau de rose.

«Постойте, мне страшно. Мне кажется, мы преступаем какую-то грань,— опять заколебалась Виктория.— Давайте переселим в себе животное, низменное, останемся просто друзьями».

«Просто друзьями, Виктория Пиотровна, мы останемся несколько позже, *post faetum*. А куда считайте, что мм и Друзья, и враги, поелику коитус есть не только единство, а и борение противоположностей».

«Так молод,— мелькнула в ней бесполезная мысль,— а уже философ».

Откинув ее через низкую спинку на сетку кровати, словно лапшу на дуршлаг, я умело и долго лелеял и нежил желе ее благодатных прелестей, и руки мои утопали в них по запястья. Коллекционерка изнемогала. Полуца желания заволокла ей очи, однако держалась она еще скованно. Ей, видите ли, было неловко, что я, которого она помнила совершенным ребенком, обхожусь с ней столь своевольно, хотя если б кто-нибудь в ту минуту спросил, а как должно с нею теперь обходиться, она, не сумев солгать, ответила бы, что так лишь и должно.

«Расслабьтесь, вы ведь не у Припарко»,— подбодрил я ее шуткой. Виктория улыбнулась. Оскал ее был лошадин. Сравнение это виделось тем паче удачным, что тупоносые туфли из кожи единорога, плотно сидевшие на ступнях ее, отзывались копытами.

«Вы случайно не будете возражать, если я привяжу вас?»

«Я, право, не знаю,— одышливо проговорила старуха.— Стоит ли? Да и зачем?»

«А чтоб не брыкалась»,— вмешался в наш разговор хамский вкрадчивый голос, который я принял за внутренний, ибо мой внешний так ни за что бы не выразился.

«Так вам будет удобнее»,— вежливо отвечал я Викторине, заглушая непрошенный комментарий. И шнурками, выдернутыми из первой попавшейся пары щиблет, в обилье валявшихся под кроватью, пришнуровал ее локти к раме. Очередь была за лодыжками. Их следовало пришнуровать к набалдашникам изголовья. «Раздвиньте же ноги! — воскликнул пишущий настоящие строки.— И воздымите. Шире, друг мой. И выше. Не ограничивайтесь полумерами». Я был раздражен. Сцена соблазнения определенно затягивалась.

Медленно, будто бы нехотя, гостя вздымала и разводила бедра, и вот – представляли во всей своей полноте. Говоря куртуазно, меж ними, украшенное сединой кудрей, влажно, смугло и молча гласило ее междометие: О.

И шнурками, выдернутыми из второй попавшейся пары щиблет, пришнуровал лодыжки. Конструкция моей невольничьей койки, поза и месторасположение пленницы позволяли исполнить задуманное в состоянии стоя и не прикладывая рук. Рассупонив на ней корсет, я счел все приготовления законченными и расстегнул на себе последний ряд пуговиц –!

Виктория вострепетала. Однажды, тайком от мужа просматривая в крепостном театре заграничное женское синема из тех, на которые ее затаскивала распущенная Галина, их общая дочь, Виктория обратила внимание на зизи одного негритянского юноши, вероятно, героя картины. Ни до ни после не видела она ничего подобного – ни у кого. Впечатление усугублялось тем, что юноша ехал верхом на белом слоне и кушал банан. Вид его наготы был одновременно ей омерзителен и приятен. Он волновал, носился в уме, погружая в роскошь греховных иллюзий, существенными моментами коих являлись так называемые ею бананы любви, или хоботы неги; являлись – и были огромны. Но то, что Виктории посчастливилось лицезреть теперь, наяву действительного бытия, превзошло даже самые смелые грезы. Ближайшее будущее предстало ужасным. «О, – панически заканючила эта бесконечно славная женщина, – О». Опыт интимной жизни и дамский инстинкт подсказывали, что через считанные мгновения восклицательный знак моего отличия, первичный признак мужественного сострадания, обильно орошаемый сейчас l'eau de rose, беспощадно пронижет – проймет – просквозит междометие ее женственности – заполнит и переполнит его зияние до отказа и, перевернув все прежние представленья ее о предметах подобного толка, безмерно расширит ей кругозор.

«Не дрейфь, маманя, – сказал ей тот голос, который она приняла за мой, а я, как обычно, за внутренний. – Старый конь борозды не испортит».....

..... Чувство неловкости отлетело, и ощущение небывалой раскованности захлестнуло Викторию волшебным цунами. «А, вот, по-видимому, на что намекал Аркадий Маркелович», – слаботускло подумалось ей, погибая в стремнине чувственного ненастья. Только зачем же он не сказал ей прямо? К чему выражаться двусмысленностями, вечно недоговаривать, как бы стесняясь. «Нет-нет, – декларировала она, – это вовсе не стыдно, не пошло, это – пленительно? Нет, хотя отчасти и да. Эфемерно? Да, но вместе и нет. Экстатично? Безумно? О да, разумеется, только не это главное. Главное это то, что это – естественно. О, как предельно естественно это, Аркадий Маркелович, как запредельно, как – О!» – идеализировала она ситуацию – «О!» – осознавала она иступленно – «О!» – говорила – шептала – выкрикивала – трубила Виктория Пиотровна – «О!» – изнывала – «О!» – мыслила и осызала она всеми фибрами своего междометия – «О!» – сокращалось оно конвульсивно – «О!» – бурны – «О!» – пенны – «О!» – бурнопенны были его извержения – «О!» И сапфировые – и подчеркивая прихотливый ритм блудодействия, – раскачивались у ней в ушах и позванивали своими серебряными колокольчиками музейные черного жемчуга серьги, знакомые мне со времен Очакова, покорения Крыма и пресловутого *menage a trois* в непревзойденном пока составе: Императрица Екатерина, князь Григорий Потемкин и Ваш покорный. Но не они занимали ныне мой ум и воображенье.

(Позднейшее примечание. Как-нибудь, устранившись от бразд правления, я напрягу остатки своей позапрошлой памяти и составлю для Вас мемуары орловского скакуна Е. В. Императрицы Российской, в шкуре которого мне довелось побывать в одном из предшествующих преображений. Задуманная эпопея охватит последнюю четверть печально известного восемнадцатого столетия. Ретроспективно переосмысленная в наполненная событиями большого социально-политического звучания вскляий, четверть эта предстанет пред моим благодарным читателем в резком, трагическом свете личных

переживаний любящего жеребца. «"Воровать – так миллион, а любить – так королеву", – говаривал князь Григорий, торжественно ведя меня под уздцы в манеж, где в специально обставленных яслях – вся пыл – ждала нас наша возлюбленная\*. Такую мне видится первая фраза будущих воспоминаний. А далее воспоследует остальная книга. Порывисто, ярко, но без каких бы то ни было стрюцкостей, я изложу в ней, как все это было в действительности, как нам нравилось то, что мы делали, как все трое мы дорожили друг другом. Так дорожили, что спальники и конюшие, подсматривавшие за вами в замочные скважины – за что и не сносили голов – только диву давались. А после гибели князя Григория в Бессарабии октября не установленного точно числа семьсот девяносто первого года мы стали с Катрин Алексеевны совсем неразлучны и утешали друг друга, чем только могли – как умели. И разлучила нас лишь безвременная ее кончина. Спалив себя самое в очередном неумном посыле на алтаре нашей необузданной страсти, царица оставила меня безутешным. К тому же сделалась судебная волокита: скакуна обвинили в смерти хозяйки. Когда бы он был не тайный любовник, а тайный советник или подобно князю – фельдмаршал, то просто вывели бы в отставку да лишили б наград. Но поелику он не служил и особых заслуг пред Отечеством не имел, а за все бескорыстные хлопоты не снискал от Катрин Алексеевны ни пенсионера, ни деревеньки, то лишиться его, кроме как живота его, было нечего. Судьба моя была решена. Чистокровного рысака, сына своих мировой знаменитости матери и отца – Лисы и Патлатого – за буквально пригоршню кислых, если лизнуть, медяков отвели меня в немецкую слободу, на живодерный завод. Было больно. Судя по отысканиям архивариусов нашего хронариата, участь останков моих сложилась по-русски плачевно. Из чалой в яблоках шкуры выделали пару сапог. На Покров сапоги обновили: отправились в них на радостях в храм, а оттуда, покаившись и не переобуваясь, – в кабак. Где и пропили. Скелет же свезли на главный Санкт-Петербургский скотомогильник, прозванный почему-то Литераторскими Мостками. Зарыли по всем предписаниям, на должную глубину, однако внешние воды восемьсот девяносто седьмого года размыли захоронение. И вот уже в конском черепе, что беспризорно валяется где-то в полях, в предвкушении следующего Олега свивает себе гнездо молодой василиск. Нет покою и надкопытным суставам. До первых звезд заигрывается ими бездумная пригородная холостежь в свои немудрящие бабки (род уличного развлечения, нечто среднее между городками и свайками). „Что, однако же, случилось с мясом и потрохами?“ – допросит нас кровожадный Биограф. Чутье не обмануло его: их отправили черемисско-колбаснику. Колбасы, говорят, из меня получились дешевые, постные, но отменных статей, и вдовы, монашенки и солдаты, соблюдавшие брачный обет, расхватили товар в два счета. Правда, это совершенно отдельная тема, хотя и она ожидает своих кропотливых исследователей и менестрелей, тем паче что мемуарами тех колбас мы, к несчастью, не располагаем. Словом, серьги, которые раскачивались сейчас в ушах Викторией Пиотровны, раскачивались когда-то в ушах у другой первой дамы государства российского, хотя и в довольно аналогичных случаях. И несмотря на то что миновало два века и несколько воплощений, я не мог не узнать те очаровательные побрякушки.)

Покуда мальстром сладострастия все носил Викторию по своим кругам, я неспешно осматривал ее достопримечательности. В целом Викторией почти соответствовала моему идеалу. Ведь была эта ныне светская львица, а некогда – записная кокотка, по-своему и хороша, и опрятна, и тихо цвела тем неброским, припудренным цветом солидной и обеспеченной старости, который неопытные юнцы принимают обычно за предлетальное тление, а эстеты, ценители, истые бонвиваны почитают единственно стоящим. Так настоящий гурман никогда не закажет себе в трактире свежего судака или карпа, а всегда предпочтет ему рыбу «духовного звания», т. е. с душиком. И если что-то коробило меня в облике Брежневой, то это был по старинке, небрежно завязанный архангельской повитухой пупок, что глядел довольно аляповато и походил на вышедшую из моды пуговицу. И еще: каблуки ее туфель, которые оказались ей очень к лицу, оказались и очень

стоптаны. «Вы что же подковки не ставите вовремя,— пожурил я ее по-сыновьи.— Неправильно это, обувь надо блюсти в аккурате».

В ответ В. прошамкала что-то невразумительное. Свидетельствуя, как из крупной зыби ее регулярно бросает в мелкую дрожь и обратно, я не посмел настаивать на четкости артикуляции: там, где царит бесшабашная близость, где хлынула неподдельная искренность, места ложным красотам нет. «Мямля вы этакая»,— только и вымолвил я.

И вдруг — совершенно случайно — взгляд ее падает на потолок. В зеркалах его она видит свое отражение. Сокращаясь, и прядая, и вясь, В. напомнила себе неосторожную жирную гусеницу, что однажды сорвалась с высокого вяза в Тайницком Саду и, упав в муравейник, оказалась изъязвлена муравьями донельзя. «О, как я пала, должно быть, в его глазах,— засокрушалась старуха. — Он, верно, думает теперь обо мне ужасные гадости. Думает, что я какая-нибудь шлюха, дрянь. Он, по-видимому, совсем не уважает меня, и, быть может, я напоминаю ту гусеницу и ему. О Господи, неужели и он помнит то утро, сыроватое после грозы — после бури. Случилось так, что мы почему-то гуляли. Наверное, захворала Агриппа, и Леонид попросил меня покатать Палисандра в коляске. Я согласилась, и мы гуляли по внутреннему периметру — вдоль стены, и считали башни. Считать он уже умел. Включив Кутафью, мы насчитали ровно двадцать одну. И возле Второй Безымянной увидели длинное и мохнатое существо — в сыром — после страшной ночной грозы — муравейнике. Неужели он помнит?»

Я помнил. Я навсегда запомнил то утро, и количество башен, и янтарную гусеницу в муравейнике: она извивалась. Мне было прекрасно видно ее из моей колесницы. И именно там, возле Второй Безымянной, глядя на корчи несчастного насекомого, я дал себе слово, что когда-нибудь, когда подрасту и представится случай, я поступлю с тетей Викой так, чтобы она сокращалась и мучилась наподобие этой гусеницы, ибо я испытывал к ней, тете Вике, некую безотчетную тягу. Случай представился, и я сдержал свое слово.

«Я пала,— все сокрушалась Виктория, сокращаясь.— Я сорвана бурей страсти, совращена. А после разрыва, когда мы останемся просто друзьями, он будет рассказывать грубым тюремным приятелям, как он взял меня тут, на голой кроватной сетке, распяв, и как я почти не владела собою, вела себя бесхребетно, безвольно, ползла, извивалась. О, я преступница, я сошлась с малолетним, ну разве так можно. Хотя я же ведь ничего не могла поделать с собою — мне так хотелось — хотелось его успокоить, развлечь — о, ничего ровным счетом. Я только медленно млела — парила — реяла. Я реяла по течению ветра — о! — не лучше ли умереть. В сыром — после страшной грозы — саду».

И, словно бы прочитав ее мысли, точнее, не словно бы, а именно прочитав, возражал: «Я знаю, Виктория Пиотровна, смертельное манит. Но вы — вы не смеете предаваться минутным позывам. Вы — мать семейства. У вас на руках и внуки, и муж. Вы не смеете. Нет! А помимо того, как могли вы меня заподозрить в неуважении человека, который десятками лет меня старше? Разве я оставляю у вас впечатление худовоспитанного? Уж вы не расстраивайтесь понапрасну. Крепитесь, право. Ведь я уважаю вас — глубоко уважаю».

(Позднейшее. Случалось ли Вам, между прочим, иметь возвышенные отношения с престарелыми, которых после не стало? Не правда ли, как остраненно смотрятся они на смертном одре или в анатомическом театре, где у Вас абонирована персональная ложа: вольноопределяющийся студент. Вы и там проходите свою погребальную практику. Неужели,— мыслите вы, поглаживая знакомые, но слегка задубелые ткани,— неужели это и есть та самая Нина Петровна или Полина Семеновна, что — не вечер ли! — тайком от прислуги питала к Вам, по ее уверениям, чисто материнские чувства и, отдаваясь, кряхтела прочувствованно и сердобольно: «Сиротка — малютка — дитяtko — благодарю вас!» «Оставьте, чего там жантильничать»,— холодно Вы бросали покойной. И странно, припомнив все это и рассеянно глядя на полки, где в банках дрезденского стекла заспиртованы жертвы абортoв и разные экзотические полипы и опухоли, сказать засучающему рукава прозектору: «А ведь славная ушла от нас старушенция».)

«Глубже некуда», – съерничал голос. И, подумав, добавил: «Мадам положительно в мыле». Голос опять показался мне внутренним, так что я снова не обратил на него внимания несмотря на неслыханную вульгарность высказывания. Верней, обратил, но я не располагал ни собою, ни временем: срок очередной разрядки моей напряженности подкатил – и меня передернуло.

Когда-то, в каком-то из прежних детств, когда я заигрывал на царской конюшне с хорошенькой пони, она, строптивая, как министерша, лягнула меня в анфас, навсегда оставив на нем эмоцию нескрываемого удивления. Контузия послужила также причиной челюстного тика (Не путать с тик-таксом), что проявляется лишь в минуты сладостного содроганья. Поэтому выражение «меня передернуло» здесь и далее следует понимать не только как эвфемизм для обозначения этих минут, но и как упоминание о моем застарелом недуге. Симптомы его таковы, что я как-то весь вскидываюсь, трепещу, мотаю, знаете ли, головой и наподобье собаки, пытающейся поймать близжужжащую муху, клацаю челюстями.

Кульминация развивалась лавинообразно и в принципе оставляла благоприятное впечатление. Я получал удовольствие. Блажен дерзновенный узник, что несмотря ни на что принял посильное участие в славной женщине, благосклонно познав ее. Но дважды блажен дерзновенный узник, который посильно отметил познавшему предмет его восхищения функционеру, познав в лице упомянутой женщины супругу последнего. И, наконец, трижды блажен тот же самый узник, посильно отметивший убийце своего деда Г. А. Распутина – князю Ф. Ф. Юсупову, познав в лице В. П. Брежневой дочь убийцы; пусть даже и незаконную. Нечто необычайно гроссмейстерское виделось мне в моей разветвленной вендетте.

Яростно соперживая проистекавшее, Виктория предавалась мне без остатка. Рыхлая рухлядь ее телес кипела и сотрясалась под действием моих безустанных чресел, как сотрясается и кипит августовская яблоня под ударами деревянных кувалд, широко применяемых сборщиками плодов в некоторых районах Андорры (В ряде случаев такие кувалды используют и при сборе гусениц, приносящих садам исключительный вред). А вот, если угодно, более возвышенное сопоставление. Будто рыба об лед, билась она в волнах безутешного счастья.

«Рохля рохлей, а дело-то знает туго», – уловил я внутренний голос знакомого, но на сей раз определенно не моего тембра.

Я оглянулся. Окно за моею спиною зияло врасплах. Там, снаружи, на небесах, творился рафаэлевский полдень, а на ветвях болконского дуба, упомянутого здесь в позапрошлый четверг, началось до эскадрона морской кавалерии Стрюцкого. Худошея, со щетинистыми кадыками, с морским коньком на кокардах пилотов, охрана оккупировала все стратегические развилки и, в упор соглядатайствуя за нашей процедурой, завистливо онанировала. Удобнее прочих устроился сам Орест. Он сидел на ближайшей по отношению к окну развилке и, чтоб не терять равновесия, опирался на подоконник локтем.

«Что, на медок потянуло? – воскликнул я, кривя себе рот. – На клубничку? А ну – не похабничать у меня!»

Натужные физиономии, зрителей желудями сорвались вниз.

«Пошляки, понимаешь! – неслись им вдогонку мои укоры. – Хулиганье!»

Я хотел уже было дать занавес, то есть задернуть оконные шторы, когда опять заметил Ореста, из чего сумел заключить, что он не последовал за подчиненными, а лишь изобразил фигуру отсутствия и продолжает удерживать наблюдательный пункт.

«А вы отчего не прыгаете? – неприязненно покосился я на него. – Разве я сделал для вас исключение?»

«Умоляю, сделайте – сделайте милость, не прогоняйте!» – Орест говорил еле слышно, с несвойственной ему прежде жандармскою хрипотцой.

«Говорите отчетливей».

«Не могу,— отозвался Стрюцкий.— Я выпил вчера холодного пива на теплом ветру и схватил воспаление глотки. Я беспощадно простужен. Так что — позвольте, позвольте уж досмотреть. В порядке интеллигентного снисхожденья к больному. Мне дьявольски любопытно. Вы знаете, я ведь тоже большой поклонник Виктории Пиотровны. Я уважаю ее, уважаю. И я даю вам слово русского офицера, что все, имеющее происходить в данных стенах, останется исключительно между нами. Договорились?» Рука его конвульсировала в кармане его галифе. Он был изумительно жалок.

«Черт с вами,— сказал я Оресту Модестовичу, бравируя собственным великодушием.— Досматривайте, вуайер несчастный». И обратился к прерванным хлопотам.

«С кем это вы сейчас говорили?» — из дебрей плотского бреда спросила В.

«Не обращайтесь внимания,— я возражал, снова рея на грани прекрасного.— Это просто ошиблись окошком». И сизнова меня передернуло. Виктория отвечала всемерно.

«Феерия!» — внутренне заорал Орест. Если ранее подпоручик использовал подоконник лишь как подлокотник, то ныне он уже восседал на нем, и я мог видеть Ореста прямо перед собой в качестве отраженья в псише. «Феерия!» — заорал Орест, и судорога оргазма покорила его, будто осень — дубовый лист.

Свершив последние содроганья, я спрятал щупальце мести в гульфик и, высвободив старуху из пут, дал тем самым понять, что аудиенция завершена. Дал и занавес. Намеченный план был выполнен. За два с половиной часа я успел разрядиться количество раз, соответствующее числу кремлевских башен, включая Кутафью: двадцать один. В память о нашей давней прогулке. В память о съеденной муравьями гусенице.

Нехотя, ибо ей хотелось еще, Виктория принялась одеваться. Оттиски кроватных пружин на спине ее запечатлелись, точно стигматы — навеки. Впрочем, так только казалось. Я знал: не успеет она добраться до Боровицких врат, как на теле ее не останется никаких улик, кроме потертостей паха.

«А знаете,— Брежнева перестала вдруг одеваться,— знаете что?»

«Что, сударыня?»

«Мне, разумеется, неудобно просить вас об этом, и я ни за что не желала бы нарушать ваших планов, но если вы нынче не слишком заняты, то отчего бы нам не продолжить?»

«Ишь разохотилась!» — послышался внутренний комментарий Ореста.

А я замечал ей: «Теперь невозможно, Виктория Пиотповна. Уж как-нибудь в другой раз. У меня на сего дня куча посудохозяйственных дел. Да и полдничать время. Тюрьма, как говорится, тюрьмой, а перекусить-то не грех, даром что кухня у нас тут премерзкая. Острое все, да мясное, да под вином, а у вас-то, я чай, диета, так что даже и не приглашаю, не обессудьте. Вообще, я на вашем месте давно бы на зелень подножную перешел — легкость необыкновенная. Да и слизи не выделяешь. Вы, кстати, не видели мою запонку? — отскочила, каналья».

«Бездушный,— сказала Виктория. И, подумав, добавила: — Пунктуал». Ложесна ее зудели.

«Возможно, возможно, не отрицаю. Правил я действительно строгих, и даже весьма. Однако ж на пунктуалах, поверите ли, свет стоит. Пунктуалами, матушка, земля держится. Потому оскорбление ваше — мне как бы и не оскорбление вовсе, а вовсе наоборот, будто вы меня похвалили за что-то. Дескать, сердечное вам, Палисандр Александрыч, спасибо за все то хорошее, что вы мне сделали, не постояв за своим драгоценным временем. Только разве от вас дожدهшься подобного. Вы — эгоцентристка, любовь моя, эгоцентристка до мозга костей, и заботитесь только о получении удовольствий. Эх вы, а еще жена государственного чиновника. И — какого, какого, Виктория Пиотровна, чиновника! Да вам ведь, наверное, все равно. Боюсь, вы и не подозреваете, сколь безупречен, светел и похорошему прост человек, с которым вы числитесь в браке».

«Прост, как мычанье», — выдернул Стрюцкий из Маяковского.

«Увы, Леонида понять вам, по-видимому, не дано,— укорял я гостью.— Ибо вы не живете его интересами, милочка. Вы живете своими, до неприличия узкими интересами, не гнушаясь при том ни флиртом и ни адюльтерами. Что отнюдь не делает вам, сударыня,

чести, пусть эти флирт и адюльтеры имеют по преимуществу место лишь в вашем воображении».

«Подайте мне ридикуль,— сказала Виктория.— Там платок».

«Нате,— сказал я ей, подавая.— А главное — главное, вы дико неблагодарны, мой друг. Просто дико. И если бы я наперед знал об этом, то ни за что не стал бы оказывать вам сегодня такого изысканного уничижения. Т. к. вы попросту не заслужили его. И пусть,— ветвисто жестикулируя и, целиком отражаясь в псише, закруглял я филиппику,— пусть с вашей, голубушка, стороны все происшедшее было лишь фарсом, игрой, лично я никогда не пожалею о нашей близости. Одним словом — желаю здравствовать».

Она пустилась рыдать — объясняться — клялась мне в искренности. Я не поверил. «Оденьтесь же наконец»,— сухо бросил я ей комбинацию. И, выпроводив из камеры, препоручил коридорному: «Свиданье окончено. Препроводите». Ведомая им по направленью вовне, она обернулась: «Минуту, а канделябр? Вы обещали продемонстрировать канделябр!»

И вновь поразился ума я ее благородному практицизму. «Не лукавьте,— сказал я коллекционерке.— Ту жирандоль вы уже видели. И даже приобрели. Правда, то было, скорее всего, не нынче, не здесь и не обязательно с вами, но, как выражается наша замечательная молодежь, сие суть колеса, детали. Так ли уж важно, с кем именно это было, если это случилось в принципе. Что вы там, понимаете ли, уткнулись в два-три измерения, будто в стойло. Встряхнитесь, взгляните на вещи свежо».

И мы дружно расхохотались. Я — весело, философски. Виктория — иступленно. Засмеялся и коридорный.

«А вы что смеетесь?» — полюбопытствовал я.

«За компанию»,— молвил он.

«Тогда продолжайте».

И меж тем, как он поступал так, лицо его было типичным лицом архаического недоумка, энтузиаста двадцатых-тридцатых годов. В коридоре было тюремно, сумрачно, и утверждать, что этот дежурный субъект в полуботинках со шпорами — не есть успевший преобразиться Стрюцкий, я бы не взялся.

Тогда я взглянул на Викторию: растрепанная, воспаленная и одутловатая, та всем своим обликом питала к себе у меня высокое и мучительное безразличие. И смятенной походкой использованной Бовари удаляется к лестнице.

Всене непременно печальны бываем мы — звери, растения, насекомые — после коитуса. Даже природа в обличье плакучей болконской рухляди, соболезна мне и кручинясь, в безветрии уронила руки ветвей. (За штопкой.)

Что в имени мне есть моем?

Что имя? Просто звук?

Кимвал бряцающий иль некий символ смутный?

Мне имя — Палисандр. С ним свыкся я давно.

И всюду я ношу его с собою.

Браню подчас, но более хвалю:

Любезно мне сие буквотворенье.

Я — Палисандр, и с именем таким

Я чувствую себя благоприятно.

Мы двуедины и созвучны с ним.

Но дерево ли я? Наверяд ли.

Так персонаж, по глупости своих

Родителей, что Львом зачем-то назван,

Отнюдь не лев. И Петр — не камень ведь.

И масса суть таких несоответствий.

И все-таки в те дни, когда один

В безветрии стоишь ты в поле хлебном

И, руки уронив, глядишь окрест,  
Случаются события, что колеблют  
Твою уверенность. То бурундук  
Тобою скачет вдруг до ночи.  
То ворон вьется вкруг –  
Очи ли выклевать,  
Гнездо ли свить все хочет.  
И мыслишь озадаченно: «Кто знает,  
И может, ты – и дерево: бывает».  
(Размышляя об имени.)

Безоружных, ворона нас подпускает столь близко, что кажется, можно пересчитать ей все перья. Но только Вы наклонились за камнем – уходит в паренье. Не то же ль и муха? Достаточно Вам потянуться за мухобойкой – летунью словно сдувает. Взвившись, она приземляется в полной недосыгаемости и начинает сучить передними лапками, предвкушая скорое возвращение к Вашей трапезе. Кто внушает этим животным хитроумность Улисса? Зачем они вообще существуют? Ответ однозначен: дух дышит где хочет. А там, где те же самые мухи, оседывая друг друга, теряют всякую голову, так что их с легкостью ловит полный младенец, там дышит обыкновенная похоть – одышливо, хрипло, словно загнанная борзая. (За скромной вечерей.)

Сию, размышляю. Вбегает Андропов.

«Пляшите, Палисандр Александрович, вам – бандероль: бельведерская бонбоньерка!»

Я покосился: «Послушайте, Юрий Владимирович, а вы не находите, что на пакете чего-то недостает?»

Андропов замялся. «М-м, да видите ли, я ведь филателист».

«Филателист, генерал, – молвил П., укоризненно глядя поверх пенсне, завещанного ему дедоватым дядей, – филателист есть прежде всего человек со щипчиками, с пинцетом, то бишь личность отчаянной щепетильности, чести. Это, если хотите, герой эпохи. Согласны? Вот я, например; тоже, в общем-то, филателист. Однако я не соскабливаю марок с чужих бандеролей, я – чист».

Молчание Юрия было смущенным.

П. продолжал: «Конечно, я понимаю, вы – офицер увлекающийся, фанатичный, даже, может быть, маниакальный. И слава Аллаху, Бог помощь! Но должно ли доходить в своем увлечении до анекдотизмов. И ладно бы два-три раза. Так нет, вы – теперь я уверен, что это вы – соскабливаете марки со всех бандеролей, что мне сюда поступают. А – под каким, хотелось бы осознать, предлогом-то – а? Нравственная цензура? Согласен, имеете право. Имеете все права и обязанности, вменяемые вам службой. И я при случае готов написать в Опекунский Совет рапортчку, что так, мол, и так – с обязанностями справляется удовлетворительно. Хотя, к чертям, разумеется, рапортчку. Принесите мне книгу жалоб и предложений, и я прямо при вас занесу в нее благодарность и вам, и руководимому вами Совету за то, что вы оба так четко и плотно опекаете меня от растлевающего влияния Закордонья. Но, милый мой дядя Юра! где взять мне столько святой наивности и надежды на лучшее, чтобы уверовать, что буквально все поступающие из сторонних держав почтовые знаки содержат порнографический или иной унижающий отроческое достоинство подтекст». И еще я сказал ему сильно и нежно: «Вы, – сказал я ему, – должны обещать, что подобное не повторится. Я тоже более или менее человек, и человеческое, извиняюсь, мне тоже не чуждо. Мне, может быть, тоже охота полюбоваться на козочек».

«На которых?» – спросил Андропов.

«Ну как это на которых, Юрий Владимирович, как это на которых! Да на тех, что на марках печатают: козочки там, овечки, пони. Животный мир, он ведь такая отрада!»

«Я больше не буду», – поклялся, употребив часовщический пасс, дядя Ю. Он был понимающ.

Письмо, извлеченное мною из бонбоньерки сусального серебра, в частности сообщало: «О незнакомый, о возлюбленный внук мой!»

«Не бубните, читайте отчетливей», – попросил Андропов.

«Вы разве не ознакомились?»

«Исключительно мельком».

«О возлюбленный внук мой!» – повторил я понравившееся.

«Не томите, – сказал дядя Ю. – Время каплет».

Заметив ему, что, имея контакт со мной, следовало бы воздерживаться от императивного наклонения и не пытаться меня понукать, я высказал предположение, что Юрий Владимирович, по-видимому, забывает, кому из нас прислан текст, и позволил себе напомнить, что текст прислан мне, которому предстоит годами – буквально годами – селиться с его составительницей под единой кровлей, деля хлеб да соль, что дает мне известное право вчитаться в полученное всесторонне, используя все доступные методы, не исключая графологических. Не преминул я высказаться и относительно времени. Я указал, что время, о котором он, генерал-генерал, столь печется, что оно ему вылепило другое лицо и всего абсолютно высушило и издергало, меня совершенно не лимитирует, ибо я давно уже обретаюсь в Вечном Сейчас, чего и ему, дяде Юре, желаю.

На это тот возражал, что, конечно, он тоже переберется в вечное, но не сейчас, т. к. сейчас его заедает текучка, и просто некогда, из чего я вынужден был заключить, что рожденный ползать – пусть даже и наделенный словно бы к «Яру» летящим почерком – никогда не взовьется.

«О возлюбленный внук мой!» – перечел я, рассматривая отдельные буквы в лупу, которая – если Вы серьезный филателист, архивариус или графолог, – служит Вам не предметом роскоши, но инструментом труда. В равной мере нуждается в лупе ботаник, следовательно, часовщик. Если же по каким-то причинам Вы не относитесь к людям скрупулезных профессий, то лупа послужит Вам к выжиганью по дереву, к разведенью костра, поможет рассмотреть насекомое, каплю росы, поры рук, структуру снежинки и скрасит тем самым и столичный досуг, и пикник в захолустье. Изящная, терпеливо шлифованного стекла, лупа отлично впишется в интерьер горной хижины, капитанской каюты, украсит конторку в банке, письменный стол в департаменте, ванную в апартаменте. Имейте лупу! Лелейте ее!

«О возлюбленный внук мой!» – перечитал я в волнении.

«Знаете, если вы намерены продолжать в том же темпе, то я лучше спущусь там куда-нибудь, поброжу».

«А? Конечно, конечно, спуститесь, любезнейший, сгоняйте там с кем-нибудь пару партей». Юрий вышел. Шаги его удалились. Тогда я добавил немного прохладной воды и весь обратился в чтение. Предмет его создан был как бы в конке – изысканной, старческой, взбрыкивающей на стыках прописью. Отчетливость соединительных линий говорит нам за то, что бабуля привержена крепким семейным узам, традициям. Верность нажиму указывает на лояльность режиму, а левый наклон – на идеализацию прошлого. Боязнь быть неправильно понятой, а также гостеприимство писавшей узнаются по тщательности, с какой она выводит шипящие, непременно подчеркивая ш и щ и надстраивая необязательную крышу над г прописным. Заскорузлое плотское одиночество сквозит в закорючливости запятых, в крючкотворстве. А о том, что моя предстоящая бабушка невероятно одухотворена, не чужда искусствам и, может быть, поощряет их, я сужу по восклицательно вытянутой форме ее многочисленных о. В контексте письма, изложенном меж обращением «О возлюбленный внук мой!» и заверением «О, вечно твоя, баба Настя!» последнее повествует примерно о том же. То есть о том, что только что рассказал нам ее старосветский почерк. Кроме того, она извещает о самочувствии Сигизмунд Спиридоныча, здоровье которого за последние двадцать лет пошатнулось и оставляет желать много лучшего, и о погоде, которая в таких пожеланиях не нуждается. Тон письма деликатно возвышен, приветлив, и – если верить изложенному – препятствий нашему

соединению не предвидится; мне остается только приехать и влиться в лоно семьи. Правда, меж строк постскриптума прочитывалось известное «но». «Единственное, что меня беспокоит,— писала Княгиня,— это Ваше отношење к Былому».

По истечении срока, в ходе которого я набросал ответную весть, дверь распаивается: на возвратившемся откуда-то снизу Андропове нет лица.

«Вы знаете. Палисандр Александрович, знаете что?»

«Не имею чести».

«Буквально минуте тому — прямо только что — прямо сейчас заглянул я по вашей рекомендации в биллиардную. Именно заглянул. Мимоходом. Не более чем. То бишь лишь приоткнул портьеру. Приотвел, говоря романтически, кружева». Ю. умолк. Младенческая улыбка, затеплившись в подслеповатых очах генерал-генерала, задела ему щеку и губы и сразу погасла.

«Смелее»,— сказал я ему.

«Я только — только хотел посмотреть, кто играет. Кто с кем. Кто да кто. Если вообще играют. И знаете что?» — Андропов казался смятен и, испытывая колебания, зримо обнаруживал их: икота его колотила.

В принципе, различают три вида икоты. Одиночная, или спорадическая, происходит от невоспитанности и присуща грубым сословиям — мужикам, рабочим, купечеству. Более благородной, серийной икотой страдают телеграфисты, актеры, искусствоведы. Следствие их впечатлительности, она может мучать часами, но в конце концов отпускает. Имеется, наконец, икота хроническая, что является прерогативой персон ответственных и высокопоставленных. Длится буквально годами, она обрывается только вместе с дыханием, после чего исходит из плотного тела в иные, более тонкие сферы наших последующих инкарнаций. Обычно течение данной икоты подспудно, и внешне она проявляется лишь в решающие часы сомнений и катаклизмов. Она-то и колотила теперь моего патрона.

«Решайтесь»,— сказал я ему.

«Вы полагаете, стоит? А если мне показалось? Хотя навряд ли, навряд, как это — показалось? Хотя кто знает. Случается, что блазнится, мерещится».

«Мужайтесь», — ему я сказал.

«Поверите ли,— сказал мне тогда Андропов,— я приотвел кружева,— а кавалергардии подпоручик Стрюцкий Орест Модестович — вы, должно быть, представлены — он непосредственно на биллиардном столе откровенно пользуется услугами Виктории Пиотровны Брежневой. А Виктория Пиотровна, по-видимому, столь тронута его обходительными манерами, что прямо-таки урчит, если только не ржет. Короче, так все это загадочно, странно, что и рассказать не берусь».

«Да вы ведь уж рассказали».

«Да? Ну и как? Мистическая история, правда?»

«То есть, а что ж в ней такого мистического, Юрий Владимирович. Конечно, поступок Виктории Пиотровны известное недоумение вызывает — кто спорит. Леонид, так сказать, не в форме, прихварывает, и она просто из чувства товарищества могла бы пособолезновать, воздержаться пока от эксцессов ветрености — могла бы: ан нет. Удивительно? Да, а с другой стороны нисколько: скорее — логично. Экзистенс-то ведь продолжается. Хочешь не хочешь, а надо как-то крутиться, выкручиваться. Я знаю, вы скажете, что Орест Модестович ей не пара, Виктория, дескать, достойна поклонника поимпозантней, того же, положим, вас. Допустим. Да только кто разберет их, всех этих фифочек расфранченных, чего им там требуется. Бывает, душа-то, Юрий Владимирович, душа-то им в нас, бывает, милей импозантности нашей. Куда им с ней, а? В бал только разве, в галоп. А с душой — хоть куда. Подумайте». Я налил в ванну еще немного целебной грязи, поправил бабочку и продолжал: «И — заметьте. Дама Виктория Пиотровна свойств, очевидно, приятственных, симпомпушечка, все при ней, но ведь тоже красавица не ахти какая, признаться. Так что неравенства или там мезальянцу какого-нибудь усматривать тут не берусь. Слетелись, воркуют себе голубки — и слава тетереву. Любовь да совет. Словом,

даже не соображу я, дружище, что, собственно, вас остранило. Может – бильярд? Что они на бильярде, что ли, воркуют?»

На что Хранитель заметил, что это-то пусть, что ханжой никогда он не числился и не будет, и что лично ему глубоко наплевать, на бильярде или под бильярдом – мол, мало ли где приспичит, и что странно ему далеко не то, чему сторонним свидетелем он явился невольно, а вот что. Насколько он, Юрий Владимирович, осведомлен, Виктория Пиотровна третьего дня, покидая Кремль, сказывала супругу, будто бы отъезжает на дачу, а сама отправилась прямо сюда и до сих пор, если верить своим глазам, здесь присутствует, что, естественно, выставляет Викторину Пиотровну в чрезвычайно невыгодном свете и вынуждает его. Хранителя, усомниться не столько в ее супружеской верности – человек практически холостой, он в ней просто некомпетентен, – сколько в элементарной честности. Ибо если уж говоришь, что едешь на дачу, то и езжай на дачу, а не в тюрьму. «Как это можно, чтобы слова расходились с делом настолько разительно! – ворчал генерал. – Вот где мистика!»

«А я, – заявил я Андропову, чувствуя, что доброе имя Виктории – на краю стремнины и как никогда до сих пор нуждается в сильной протекции, – а я так напротив, Юрий Владимирович, не усматриваю тут никакого противоречия». И объявил, что как ружья конструкции «парадокс» стреляют не хуже сермяжных берданок, точно так же парадоксальные вроде бы утверждения оказываются правдой не в меньшей степени, чем трюизмы.

Неважный охотник, Юрий, по-видимому, не вкусил всей прелести параллелизма и посмотрел на меня. Я весь был в партикулярном.

«Я говорю только то, генерал, – пояснил я ему, теребя себе мнимую эспаньолку, – что для некоторых людей в некоторых довольно индивидуальных случаях вояж на дачу равносителен поездке в тюрьму, а поездка в тюрьму оборачивается вояжем на дачу. И нынче мы как раз и столкнулись с одним из таких феноменов. Потому что в сознании юсуповской дочери, милостивый государь. Архангельское никогда не переставало и не перестанет быть отцовским загородным поместьем, дачей, даже дворцом, как бы мы с вами его ни экспроприировали и ни переименовывали в равелин. И сказав: „Я еду на дачу“, – Виктория Пиотровна ни на йоту не погрешила противу истины».

Объяснение показалось Юрию убедительным, и икота его затаилась. Он прочитал письмо бабы Насти, а после спросил, что еще содержала полученная бандероль.

«Совершеннейшие пустяки», – сказал я и открыл бонбоньерку. Он бросил взор. Целый набор совершеннейших пустяков, дразняще веявший мятным утренним чаепитием с медовыми пряниками и шоколадом в начале июня в слегка покачивающемся гамаке, – лежал там.

«До встреч, – молвил Юрий, вчетверо складывая мою ответную весть. – Днями буду».

Почти у всех выходной. В равелине остались только дежурные, нарочные да мы, заключенные. И в который раз убеждаешься: тюрьма без прислуги – тюрьма вдвойне. Только диву даешься, к каким ухищрениям вынужден прибегать, компенсируя это лишение. Характерный случай.

Сегодня в связи с юбилеем Джордано Бруно, спаленного маловерами от инквизиции, заказываю в буфете италианского брютта феррари как раз шестисотого года. Приносят, пробку – в потолок, и уходят. Оставшись один на один с трехлитровой бутылкой шампанского, пусть и сухого, воленс-ноленс впадаешь в какой-то восторженный, шпрыхсталмейстерский артистизм.

«Не желаете ль воспригубить?» – сказал я себе, воспривстав. И, несколько восприсев, отвечал: «Восплесните». И, несколько воспривстав, всплеснул и рек: «Воспригубьте». Затем восприсел, воспригубил и, воспривстав: «Ну, что скажете?» И, сызнова восприсев: «Превосходно!» Тогда, воспривстав, восполнил и возгласил: «Ваше!» И возражал: «Взаимно!»

Сам себе подавальщик, не смея хмелеть в присутствии посетителя, пью не пьянея и мыслю: «Все – суета сует, все – томление духа. Особенно без прислуги». И тот же я размышляет: «Хм, вот ты какая, неволя».

Так будьте вы прокляты, говоря напрямик,– вы, швырнувшие меня в сей прокисший застенок! А заодно и вы, не спрося позволения перлюстрирующие мой тюремный альбом,– вы, ищущие насмеяться над истории рядовым в его роковую годину,– вы, лорнирующие меня в замочную скважину. Что вы смотрите так сквозь прищуренный глаз? Что вы лепечете там чрез бредни грядущих времен, я вас спрашиваю. Что вам, любезнейшие, угодно? Да как вы смеете! Я вам – не девка Пиа Задора, которая стрикулирует в исподних прозрачностях и без оных. Ах так! Вам угодно потешиться над моей избалованностью, упиться моими воскресными неурядицами, моим сам-себе-гувернерством. Прекрасно. Тогда с поспешностью бури я срываю с себя всякие полномочия и обрушиваюсь. Я обрушиваюсь в единственное мое спасище от грядущего в вашем мурле. В мурле многоумного австралопитека, поросшего чешуей птеродактиля. И в холодном бешенстве листопада, в его пыли, я на свитке подтирочного папируса начертаю прошение об отставке: «Служить бы рад – прислуживаться тошно!» И – отшаркаюсь росписью. И не да здравствуют ли:

а) грошовый уют моего плескалица!

б) игра отражений и светотени в глубинах и на поверхности грязей и вод!

в) пемзы, свободно дрейфующие по воле волн бесхозными экскрементами!

А вы, читающие настоящие строки,– вы будьте прокляты.

Какой из напитков коварнее брюта!

Ночами, подобно учтивому брату,

Он нас превозносит. Однако наутро

Карает мигренью с жестокостью Брута.

(Полеживая.)

Спокон веков в ряду остальных дней недели вторник справедливо почитался вторым.

(Посиживая.)

Как всегда между прочим заходит Стрюцкий. Шутили. Проказничали. Исповедался мне, что в прошлую среду, а также в четверг и пятницу не упустил своего.

«Слышал, слышал, суконная ваша душа,– будировал я, косясь на тюремщика одичалым узником, каковым и являлся.– Не могли уж пристойнее места сыскать. Первая леди все-таки, из князей. Таких, понимаете, в „Гранд-Отель“ водить принято, а вы ее, ровно бы ложкомойку, в подвал потащили. Неловко-то как».

«Бес попутал,– оправдывался Орест.– Только, значит, вы от себя ее выпроводили, так я сразу ее вниз и увлек. Уж больно мне не терпелось кий кому-нибудь показать. Вы вот про канделябр ей какой-то твердили, а я все про кий да про кий. Кий, говорю, не желали бы осмотреть? Новый, мол, скользкий, буквально на днях из Бильбао выписали. Как же, как же, я, говорит, бильбоке большая поклонница. И только мы, стало быть, с ней спустились, тут мне и приспичило. Не удержался, поизнурил ее, матушку, поизнежил. А после три дня она у меня в служебке постоем стояла. Поверите ли, ни за что уезжать не хочет. Жительствует себе, как на даче. И такая ее эротика одолевает, что хоть караул кричи. Опомнитесь, говорю, Виктория Батьковна, не пора ли вам честь-то знать, не время ли и вправду на дачу отъехать, а то заждались, поди, телохранители ваши в сторожке на наших харчах. Ничего, говорит, подождут, дармоеды чертовы, куда им спешить. Так что я ее в конечном итоге к ребяткам своим спровадил, в каптерку перебазировал, где клавиш. То-то, знаете ли, разговелись матросики с голодухи. Да и ей, как видно, на пользу. Словом, толково, толково все обустроилось».

Рассказывая эту развязную кавалергардскую быль, взор Ореста горел хорошим казарменным юмором.

«А – уехала ли?»

«Убыла, убыла. Нынче утром. Довольная вся укатила. Братишкам каждому на полштофа пожаловала».

«Вот и чудно, и скатертью ей дорога», – ответил я.

«Значит, вы – не в претензии?» – заискивающе осведомился он.

«Господь с вами, Орест Модестович. Я – человек классического образования, полиглот, индивид почти посторонней формации. Я, может быть, толерантнее самого Талейрана, а вы меня проверяете на предмет русской ревности. Скушно, право».

«Ой, виноват, – отвечал Орест. – Утонченности мне еще не хватает в ухватках. Мужиковат-с».

«Ничего, обретете с годами». Сказав так, я умозрительно хлопнул его по плечу рукою и обесмыслил себе часть лица саблезубой улыбкой.

«А ведь немало, я чай, немало вы, Палисандр Александрович, бабушек кремлевских перелохматили», – доброжелательно думал Орест Модестович, улыбаясь тоже.

«Никак нет, – раздумывал я ему в тон. – Немало. Да и вы, я гляжу, малый вовсе не промах».

«Отнюдь, – мыслил Стрюцкий. – Отнюдь».

И, отдавшись порыву взаимной приязни, мысленно мы протянули друг другу длани, ударились в интимные воспоминания и с той минуты сделались большими приятелями. Крепка ты, осторожная дружба!

Всякий день береди себе душу вопросами: «Если умру, делается ли в свете в такой же степени пусто и одиноко, в какой это делалось по кончине Ганди и Бисмарка» Фарадея и Дизеля, Сэндрюса и Махно? Или так себе – пустовато? Всплакнут ли? И если всплакнут, то как: от души или просто для виду?» (За пальцами.)

«Все вышиваешь?» – спрашивает Андропов, придя.

«Крестиком, Юрий Владимирович, все крестиком».

«Да кто тебя научил?»

«А – бабки тайницкие. Парки кремлевские. Нянчили-нянчили, холили-холили – ну и пристрастили, лукавицы, сироту. Шить ли, вязать ли, подштопать ли что – все умею. Несите, ежели что прохудится. А посмотрите-ка, что за козочка тут у нас с вами выходит. А тут вот коника чалого ей пристроим под бок. Вот и будут они у нас жить-поживать, козлятушек наживать – бе да ме в теремке невысоком. А козлятушки – скок-поскок, жеребятюшки – прыг да брык, одно копытце мамино, иное папино, и борода у каждого клинышком, будто у Николай Александровича» (Здесь – Булганина).

«А чего это вы притчами изъясняетесь, – заметил Андропов. – Что ли в юроды записались?»

«Глупею себе потихоньку, Юрий Владимирович, глупею в тряпочку. Неволя, наверное, сказывается».

«Потерпите. Уж скоро все разрешится. В связи с обновлением конституции назревает амнистия. Судя по сведениям, вы под нее целиком подпадаете».

«Надеюсь, надеюсь. А если – нет? Что там, кстати, либералы поделывают? Предпринимают что-либо или все так, либеральничают?»

«Либералы оказывают на наших „ястребов“ экстренное давление. И не только они. Ваш арест всколыхнул все лобби, все кулуары, – сказал Андропов. И молвил: – Но есть и худые новости. Вчера после долгого следствия трибунал вынес дяде Лаврентию смертельный вердикт».

«Не глумитесь. Мой бедный дядя давно не внемлет вердиктам».

«Конечно. Я просто оговорился. Приговорили его двойника. Тот сидел за него под следствием. Между прочим, во всем сознался».

«Какая подлость! – охарактеризовал я деятельность провокатора. – И вы – не вмешались? Не обличили ложь его показаний?»

Тогда генерал-генерал объяснил, что действовал по предписаниям определенных сил, что в их директивах подчеркивалось – «Чистосердечному раскаянию не препятствовать, по

признании – расстрелять» и что послушаться – значило бы сгнить на рудниках как минимум.

Я удивился и рек: «Да какого, собственно, лешего затеян был сей позорный процесс, суд над тенью почтенного висельника!»

И Юрий ответил: «Определенным силам российские диссиденты ужасны, а твой дедоватый, лидер государственной эволюции, считался из них виднейшим. Так что душители наши стремились унижить его перед общественностью страны – пусть и мертвого. И они приказали нам инсценировать этот фарс. Тихий ужас, но мы ничтожны протестовать, – бормотал Хранитель. – Ведь без народа, от коего мы коварно удалены, мы суть nihil».

Министр – потому что в каком-то там смысле Андропов служит министром – прошелся по ванной комнате. Остановился. Золотошвейный узор монограмм на юсуповских шлепанцах, ожидавших конца моей процедуры, министр рассмотрел. Знал: минует она, и, душистая, мягкая, кожа их вновь невольника чести собою ступни облечет.

Со двора доносились удары чего-то о что-то. «Это сколачивают трибуны для зрителей, – пояснил Ю. В. – Завтра в третьем часу состоится образцово-показательная экзекуция».

«Не моя, уповаю».

«Нет-нет, – ледяно улыбнулся Юрий. – Вас бы предупредили заблаговременно. Казнить будут символического Лаврентия».

«А почему в Архангельском?»

«А почему бы и нет? Чем не место?»

«Да место-то ничего, живописное. Только разве не проще по месту его заточения, в гарнизонных казармах? Иль где он себе там посиживает?»

«Проще. Но я полагал. Вам будет небезынтересно взглянуть, и распорядился организовать все здесь. Контрамарку получите у контролера, по списку».

В два двадцать мы с Юрием в сопровождении его и моей охраны заняли верхнюю ложу. В нижней расположилась администрация, гости. Поодаль, рядами сбегая к кирпичной стене, наспех выложенной архангельскими печниками, высилось полукружье амфитеатра. Сидевшие в нем обитатели равелина приветствовали нас звоном парадных кандал. Присутствующих обносили мороженым, прохладительными напитками. В зените роились перистые облака. Слышалась «Santa Lucia».

«Позвольте программку!» – окликнул я билетера.

«Извольте, – учтиво он протянул экземпляр. – А бинокль не берете?»

«Мерси, у меня имеется».

«Цейс?»

«Тридцать диоптрий. Трофейный».

В программе перечислялись действующие лица и исполнители, коротко излагались их анкетные данные, политические пристрастия, любимые блюда, цвета, изречения, произведения искусства, заслуги и провинности перед Отечеством. В роли Лаврентия Берии занят был майор театральных войск Арчибальд Гекуба. Не зная действительной ситуации, трудно было бы усомниться в достоверности приговоренного: на арену, посыпанную опилками, вывели человека, похожего на моего давно покойного родственника до абсурда.

Оркестр заиграл увертюру. Расстрел начался.

Казнимого привалили к стене, нахлобучили на глаза ему заячий арестантский треух, вторично зачитали вердикт и лишь затем дали залп.

«Позор крестословам Высокого Альдебарана!» – успел вскричать Лжелаврентий. После чего он нелепо взмахнул руками и вскоре не шевелился, упав. Все было кончено. Представление определенно не удалось. Отточенное и лаконическое по форме, но выхолощенное по идейному содержанию, оно отзывалось упадническим буффо, отдавало обыденщиной и казенщиной.

«Что ж, Юрий Владимирович, большая сценическая удача всего коллектива. Творили свежо, талантливо, с огоньком»,— делился я впечатлениями записного критика, когда, оставив место события, мы шли приусадебным парком, гуляя его обрывистыми аллеями.

Андропов не отвечал. Он выглядел огорченным.

«А вы, я смотрю, не в духе? Что так? Неудовлетворенность требовательного к себе художника? Или просто взгрустнулось? А может, вас обескуражил натурализм финала? Может, гибель героя была излишне бесповоротной?»

«Отчасти,— сказал генерал.— Отчасти».

«Позвольте, но разве игра дублера не стоит свеч? Непыльная в принципе деятельность, а оплачивается неплохо. Сидишь себе за кулисами, вживаешься потихоньку в образ, а тебе надбавка за вредность идет, за верность, за выслугу лет. Плюс всякие льготы, пайки, исключительное уважение. Ну, когда-никогда, а приходится выходить на публику — фигурировать — лоб подставлять. Да ведь сцена — место такое, жертвенное. Так что я даже не понимаю, что именно вам Гекуба».

«Сам майор тут почти ни при чем,— возражал Хранитель.— Сотрудник он был неприятный, заносчивый, и жалости у меня к нему нет. Здесь другое. Пару недель назад, будучи далеко не в ударе, заехал я к Арчибальду Матвейчу в Алешинский рavelин на предмет подкидного и эдак продулся, что денег таких с собой у меня не случилось. Естественно, обещал на днях завезти — да запамятовал. И — вы видели? — Андропов остановился.— Вы видели, как он смотрел с арены? Он прямо выедал меня взглядом. Тут-то и подойти бы да и отдать ему причитающееся, а мне, дураку, невдомек. И только когда уже унесли его, и пятно на опилках открылось, будто червовый туз,— дескать, козыри — вини,— тогда только я и вспомнил про долг. А у Лаврентия — верней, у Гекубы у этого,— на беду ни жены, ни детей, так что даже посмертно не через кого возвратить».

«А много ли?»

«Чепуха, девятьсот целковых с копейками. Впрочем, сколько бы ни было, тут же не в сумме суть. Тут порядочность моя на кону стояла. Человек, понимаешь, поверил, а я — обманул. Вот накладка!»

«Послушайте, Юрий Владимирович, а вы не желали бы возвратить их через меня? Я же ему родственник некоторым образом. Он — как бы Лаврентий, я — как бы я. Играть так играть, согласитесь. Играть на театре и в карты, на бильярде и в жизнь. Неистово! С полной самоотдачей! На полный нерв! Играть, как играл Гекуба. А? Сумма, действительно, не ахти-бахти, но я бы не возражал. Мне скоро ведь ехать, а в дороге-то, знаете, как поиздержишься иной раз. Да и у вас на совести полегчает».

«В масть!» — обрадовался Андропов. Порывисто достал он свое портмоне и, заправски тасуя купюры, отсчитал мне свой долг моему казненному «дяде». Так в образе Юрия обнаружил я исключительную принципиальность, порядочность — грань дотоле дискретную.

Тесьма на гамаше у генерала давно развязалась, и он наклонился, чтоб завязать.

Тревожно. Ветра выворачивают листья на серебряную изнанку.

О папуасы! Не к ним ли, на Гальмагеру, мы постоянно стремимся уехать из наших прохладных держав. Уехать — чтобы лет тридцать спустя возвратиться домой посвежевшими, загорелыми, бодрыми. Большинству не дано. Забываясь в заботах высоких широт, мы выходим на пенсию бледнолицыми, вымороченными стариками. (Листая «Нэшнел Джиографик».)

«Вопрос о вашем освобождении решен, но еще рассматривается»,— объявил Андропов, придя с картою двух полушарий Земли, которые из-за обилия континентов, архипелагов и островов смотрелись раздробленными черепными коробками на рентгеновском снимке.

Весь день провели мы в беседе, уславливаясь о шифрах, кодах, секретных каналах связи, уточняя дни явок и встреч с эмиссарами и «кротами» — в ресторанах, кафе и на частных квартирах Запада. Обсуждались также: последовательность моих действий по отношению

к Сигизмунд Спиридонычу, к бабе Насте и стиль моего последнего к ней письма. «Люблю калоши» и прочую лирику пришлось опустить и перебелить все наново.

Инструктаж завершился плотной тайной вечерей.

Инспектируя состояние человечества в его настоящем виде – человечества с его беспримерной стрюцкостью и мелочизмом по пустякам, – мы по случаю собственной к нему принадлежности испытываем столький стыд, что невольно желается ринуться по стопам Лаврентия Павловича: взвинтить себя винтовой внутрибашенной лестницей – с маху толкнуть броней одетую дверь – и т. д. Но, бывает, зайдешь в воскресенье в церковь, поисповедуешься, а батюшка, намекнув про геенну, где мучаются руконоложники, непременно отговорит от затеи. Последнее это, скажет, дело, грех смертный. Потерпите, скажет, голубчик, покуда Господь уже сам приберет. Ну – и терпишь. А то бывает, что и священник не нужен, ибо со всей остротой осознаешь, что путь Лаврентия Павловича – тоже не выход. Затянутые в порочную круговерть инкарнаций, мы всякий раз по уходе обречены на возврат, словно бы на места своих преступлений или на вешалку за калошами. Так что самоубийством мы только портим себе всю карму. То есть вместо того, чтобы опять родиться в стенах Кремля и вести относительно сносное существование, родимся где-нибудь под забором, в нестиранном захолустье. Обретаясь в подобной мизерности выбора, видишь, как упованья на вечную и счастливую жизнь за гробом рассыпаются в прах. И, смирись, плетешься хоть как-то устраиваться в данной юдоли.

Минуют годы. Мы делаемся взрослей, безобразней. И крепнет наша душа, одеваясь броней коросты. И нам уже больше не совестно – ни за себя, ни за стрюцкое человечество. Мы становимся приспособленцами жизни, проводниками ее идей, ее клакерами. И даже неволю – тюрьмы и сумы, неволю обязанностей и прав предпочитаем петле, потому что смерть – фикция, нонсенс, самообман, не решение вопроса. И, содрогаясь на дорогих подругах и милых приятельницах, с гордостью продолжаем мы род наш и, имея в виду: «Да здравствует homo sapiens!» – выдавливаем из себя сладострастный мык. И как паре калош, без конца марширующих в мировой грязи, но сработанных не за страх, а за совесть, нам нет ни цены, ни сносу. (Инспектируя состояние человечества.)

День освобождения пришел в обличье андроповского глашатая в чесуче. Застав меня за клавиром, заслушался, загрустил. Я играл «Розенкрейцерову сонату». Закончив, взял из размякшей руки его справку об освобожденьи, скрепленную подписью Местоблюстителя, и, предъявив у ворот, вышел с ней за ограды – в луга. Там со всей очевидностью наличествовала относительная свобода. Грачи прилетели, а вечером прибудет Андропов, переночует, и о заре мы убудем с ним в Эмск. И Кремль распахнет нам свои чертоги.

Как найденный невзначай в кармане чьего-нибудь балахона засохший окурок расскажет порой о своем владельце куда убедительней, нежели тот поведал бы о себе самолично, так и возвращенное Вам вместе с мундиром удостоверение личности на имя какого-то мифического подхорунжего О. М. Стрюцкого заставит о чем-то надолго задуматься. (Едучи.)

## Книга послания

Знал ли я, едучи, что когда-нибудь публикация моего «Тюремного дневника», по страницам которого мы только что бережно пробежались, снищет мне репутацию одного из блистательных узников эры и вызовет эпидемию подражаний и отзывов.

«Экий волнительный человеческий документ!» – потрясенно напишет пекинская «Женьминьжебао».

«Очередные „Записки из Мертвого Дома“? Пускай, но какие!» – будет запальчиво вторить ей барселонская «Ой».

«Возьмите воздушную легкость Барышникова, добавьте немного дисгармоничности Шостаковича, помножьте на проникновенную иступленность Кремера – и вы получите

хоть какое-то, пусть и самое отдаленное, представление о стиле этого еще одного русского», – будет эстетствовать «Нью-Йорк Тайме».

Нет, ничего подобного я, конечно, не знал, не предвидел и не желал. Я просто ехал и ехал. Страна просыпалась. Просыпался где-то в казармах горох барабанной побудки. Промчались куда-то атлеты. И с озабоченным видом прошествовали за катафалком какие-то люди. Жизнь продолжалась. И вот уж кленовые рощи предместий в припадке норд-оста бросают нам под копыта диковинной формы стручки – силуэты ушанов в паренье. Но – мимо, мимо.

Когда на Садовой мы отпустили извозчика и зашагали пешком, в мрачноватых дворах строений матери призывали детей к обеду. Свежело, и хотя в поле зрения мельтешил многочисленный сброд, дышалось великолепно, и трость все никак не могла приспособиться к моему широкому шагу. Она спотыкалась, падала, отставала, и вдруг – совершенно непредсказуем! – я швырнул ее в холм золотого хлама. Ах, палые листья! В бытность мою без ума от Шопена, Шумана, Шишкина, я возлюбил вас всецело, словно сынов.

«Значит, едете?» – повторил Андропов излюбленный свой вопрос.

Решимость моя была неуклонна. «Не до седых же волос мне в кремлевских сиротах прозябать», – молвил я, на секунду забыв, что в силу наследственной алопеции на теле моем никогда не росло и не вырастет ни единого волоса. – Разумеется, еду, Юрий Владимирович, лечу!»

«А – на чем?»

«Что – на чем?» – недопонял я.

«Едете», – пояснил он.

Мысля глобально и никогда не задумываясь о частностях преодоления пространств, ум мой, признаться, осекся. Действительно: плыть по морю или трястись чугункой? Задача не из простых, тем паче что авион за ненадежностью отпадает.

Из читанного я усвоил, что в поезде – даже в трансъевропейском экспрессе – Вас нет-нет да заденут в узком проходе локтем, подвергнут невыгодному сравнению, эпиграмме, частушке, ошпарят крутым кипятком из титана, во что-нибудь обыграют, ограбят и проч. А море – оно сулит испытания и похлеще. Достаточно вспомнить «Морскую болезнь» Куприна или «Гибель Титаника» Гауптмана. Зато путешествие пироскафом представило бы немало экзотики. В каком-нибудь Зонгульдаке, на пристани, старец в феске и шароварах продал бы вам кулек сушеной макрели. Словоохотлив, беззуб, этот некогда удалой человек поведал бы, как он сражался за Севастополь, и долго бы Вам казалось, что Вы – на родине. И только взглянув на сдачу, тускло мерцающую на ладони. Вы вдруг осознали бы: «Турция!» Точно такую ж макрель и в почти таком же кулке продал бы Вам старикос в Афинах, старчелло в Неаполе, стармен в Ливерпуле, старье в Лярошели, стариньо в Парамарибо. А Ла-Манш несказанно порадовал бы размахом чайчых крыл: шутка ли – до полутора метров. С другой стороны, поездка трансъевропейским экспрессом сокращала время в пути, и, таким образом, дилемма казалась неразрешимой.

«Смотрите, шарманщик!» – прервал мои буридановы размышления Юрий.

На самом углу, возле рюмочной, лицом к расстилавшейся перед ним неширокой, однако вполне уважаемой площади, подвизался в своем цикличном искусстве маэстро от механизированной музыки. Вид последнего был мизерабль. Костюм его требовал штопки, если не кройки, а сам артист напоминал продавца макрели. Поскольку кепи шарманщика лежало у ног инструмента, постольку сквозняк шевелил седовласые кудри, накрученные на судьбоносные свитки. Звучала песня окраин и подворотен. Шарманщик пел. Певчий дрозд, что сидел на плече у хозяина, подпевал. Мне сделалось пусто, и, подойдя, я бросил в кепи значительных ассигнаций. Покопавшись в кудрях музыканта, дрозд вытянул и протянул мне один из свитков. Я развернул его и прочел зловещее в своей неопределенности указанье: «Поди туда – не знаю куда, сделай то – не знаю чего».

Прохожие миновались. Помедлив, проследовали и мы. Но куда не удалились вполне, тягучая, малоприличная, но не лишенная обаянья баллада касалась наших ушей.

Пошел козел в кооператив,

Купил козе презерватив, –  
пел шарманщик.

«Батюшки, сколько ж еще печали в российских напевах!» – вздохнул Андропов.

Я согласился.

«Вы, кстати, узнали его?» – продолжал дядя Ю.

«Шарманщика? Нет. А кто сей?»

«Владимир Высоцкий».

«Переменился, однако».

«Еще бы. Опала не красит».

«Опала? А мне кто-то сказывал, будто он испытал роковое, даже якобы умер».

«Не знаю, такого не слышал».

«Ах, Вольдемар, Вольдемар, – молвил я ему умогласно, – Вольно тебе было ссориться с властью предержажими. Видишь, к чему это привело: нужда, шарманство. А помнишь, как лихо гоняли мы с тобой почтарей по кремлевским крышам? Ведь то обстоятельство, что ты был сыном довольно мелкого крепостного служащего, не помешало мне протянуть тебе руку дружбы и покровительства. Младше тебя годами, я стал твоим чутким наставником, педагогом. Недурно перебирая на струнных в диапазоне от арфы до балалайки, я показал тебе ряд аккордов, придал твоей внешности артистический лоск, оказал протекцию и выдвинул на театр, на эстраду».

Мелодия не замирала. Шарманка пела о тех забавах нашего общего детства, что связаны были с чудесными каучуковыми колпачками, которые через знакомых старух доставал я в кремлевской аптеке:

Пошел козел на скотный двор

И показал козе прибор.

Коза сказала: «Не хочу».

Козел сказал: «Я заплачу».

Милое босоное детство! Надув колпачки каким-то лабораторным газом (Газ брали у кремлевских алхимиков), мы отправляли их с Вольдемаром в пастельные эмские выси и с голубятни, что находилась в Смотрильной башне, следили их непорочный полет. Слово мыльные пузыри младенческих грез воспаряли они и лопались – там, в поднебесье. Мы – ликовали.

Сейчас, расталкивая локтями прохожую шваль, я опять размечтался. Закупить бы таких колпачков побольше, да лучшего качества, дабы не лопались – связать себя с ними единым вервием и, инсценировав незаконное пересечение рубежей, взмыть в послание!

«Вообразите, какое паблисити! – поделился я соображениями с Андроповым. – Масс-медиа положительно оборзет. Мол, бла-бла-бла, бу-бу-бу! Неприличнейшее бегство века! Гениальный русский Икарус! Наследник мосье Монгольфье!»

Юрий бешено расхохотался и объявил, что больше того паблисити, которое у меня уже есть, мне не требуется, что меня уж и без того заждались вся Европа и что кремлевское руководство, издерганное зарубежными «молниями» по моему вопросу, не чаёт выпроводить меня поскорее в послание, как в свое время Николай Александровича (Здесь – Романова).

«Вы, между прочим, не забудьте посетить старика, – наказал Хранитель. – Как-то они на Майорке там с Александрой Феодоровной устроились, не обижает ли кто».

Судьба Романовых, долгие годы живших в Кремле под вымышленной фамилией Булганины, а после – по настоянию извне – отпущенных с Богом на перманентный отдых к детям, на Запад, беспокоила и меня. В странноприимном доме раскоронованной пары, что стоял в живописной кедровой пуще возле Теремного Дворца, я всегда был не только частым, но и желанным гостем. И я обещал генералу, что уж кого-кого, а Романовых,

будущих моих прародителей, навещу непременно. И не один, а совместно с бабулей, которая, верно, тоже давно их не видела.

Возвратились к проблеме транспорта. Отфутболивая лежавший на пути его баклажан, Юрий молвил: «А как насчет дирижабля?»

«Звучит идеально,— заметил я.— Особенно если учесть, что по правилам классицизма прекрасное, в данном случае мой вояж, обязано быть величаво». Но сразу оговорился, что слышал, будто пожары на дирижаблях давно охладили пыл их любителей, и к вящему самодовольству мещан, замечательно выведенных у Горького в образе жирных гагар, воздухоплавание цеппелинами официально похерено.

Юрий крикнул и рек: «В богоспасаемой нашей отчизне, дражайший мой Палисандр, законы, препоны и прочая дребедень существует только для смертных. А к ним относиться мы не имеем участи». И, желчный, переступил Боровицкий порог. Переступил и я.

Предотлетные дни мои в крепости были считаны. Я посвятил их сборам, пространным прогулкам по дальним кремлевским чащам, лугам, оврагам, купанью в прохладных ручьях и гейзерах. Затянутый в новый дорожный шлафрок, брожу элегичный, хожу элегантный и то составляю сонеты на случай, то пополняю запас париков, то с помощью челяди упаковываю багаж. А то — распаковываю. Или запрусь в Грановитых покоях — и знай освежаю себе эсперанто: «Гляссе, плиссе, эссе...»

Местоблюстителю с супругой со мной не здороваются, якобы не узнавая, но я не в претензии и при встрече непременно им чем-нибудь помашу.

Наконец наступает утро, когда, вдохновенный, весь словно бы не от мира сего, Андропов вручает мне какие-то документы, деньги, литературный проездной билет, пакеты с инструкциями. По доброй освященной веками традиции мы на прощанье присаживаемся — встаем — охорашиваясь, вертимся перед псише — к парадному крыльцу подают экипаж — мы садимся и катим на летное поле, где, живо напоминая циклопический баклажан, виднеется цеппелин. Возле — сонм провожающих. Чуть ли не все крепостные и новодевичьи прибыли проводить сироту в путь-дорогу.

«Привет вам, привет, дорогие, но более — оревуар!»

Уже из гондолы заметил в толпе Берды Кербабаяева и, перевесившись через поручень: «Здравствуй, братец! Ну что, прилетели твои летучки?»

«Нет, барин, теперь не сезон. Улетели».

«А матушка, матушка-то жива ли?»

«Какое жива, уж и кости, наверное, сгнили». Прекрасно зная, что кости в принципе не гниют, он явно бравировал скептицизмом, хотя по-прежнему презирал как эмоции, так и способы их выражения. Сдержанность его была заразительна. Беседа с ним. Вы тоже практически не мигали и не употребляли рук.

А рядом — рядом с Берды — в берете и пелерине — стоял — кто бы Вы думали? — Брикабраков.

«Оле, голубчик! Я буду ждать вас в Париже, на мосту Мирабо. Пусть чисто условно, но — вечно. Это ли не идеал отношений, подумайте. А может быть, лучше на пляс Пигаль, в бистро „Абазур“?»

«Д'акор!» Мотыльковый, букашливый, граф послал мне воздушное целование.

«А где Жижи?»

«Дежурит»,— ответил курьер.

«Передайте ей мой поклон. Пожелайте удач по служебной линии и семейного счастья. До новых okazji!» (Сноска в будущее. Мы не встретимся с Брикабраковым ни в Париже, ни в Хельсинки, ни в Севилье. Не встретимся никогда и нигде. Беспринципный проныра, авантюрист и — подобно мне — полиглот, он вскоре добавит к своей коллекции среднеарабский, бросит семью, изменит имя и внешность и затеряется где-то в Ливии. Начав там простым разносчиком верблюжьего молока и кумыса, граф кончит совсем неважно. Как-то на ужине у Банисадра, в Ницце, я невзначай присмотрюсь к фотографии

международной марионетки в Триполи Моаммара Каддафи и узнаю в нем нашего Брикабракова.)

Вежливо кашляя, на борту дирижабля возникли чины таможенной инспектуры с проверкою моих тюфяков и личности. В смысле предметов национального достояния я декларировал семь матрешек для бабушки и посмертную маску деда Григория для личного пользования. Себя как бесценную реликвию государства я не объявил и немного гордился своею контрабандистскою смелостью. Трюк удался. Чины оказались олухами, взяли под козырек и напутствовали: «Счастливого внукованья!»

Пилоты залили горячего и закурили по папиросе. Устройство задействовало. Качаясь, мы поднялись в стратосферу, и Кремль вместе с прилепившимся к нему Эмском предстал наглядным пособием по архитектуре веков. К дерзающему подходили стюарды в смокингах, о чем-то спрашивали – отвечали – приносили напитков и яств – старались понравиться – угодить – заискивающе извивались телами – были приторны – неумны – было душно – скушно – банально – и все это я почему-то должен описывать. Надоело. Добавлю только, что между тем как пушистая, хвостатая и игривая, в рощах урочищ и на приволье равнин опочила себе зима, – отобедав, мне тоже вздремнулось.

Очнулся я от чьего-то взора. Пористая и овальная, будто фиброма души, – через иллюминатор – на меня загляделась Луна.

«Где мы?» – схватил я за хлястик мятущегося проходом стюарда.

«Перелетаем границу, сэр».

Я оглянулся. Слезливо подмигивая кому-то Всевышнему бельмами ночников, творила свою хронографию варварская страна чайковских и Чичиковых, Сидоровых и петровых, гениев и злодеев. И я сказал ей:

«О ты, оставляемая мною из лучших побуждений и до лучших времен! Не гляди сиротливо из-за острожных решеток, из-под соломенных крыш и чиновничьих козырьков, из замочных скважин и крепостных бойниц. Не пой грустных песен – не пей из копытца – поди туда не знаю куда – сотвори то не знаю чего – только бы не преглупо – только бы не предико. Да не укради – да не убий – не лжесвидетельствуй себе же во зло пред ужасным судом истории. Стань честнее. Будь доброй и славной. Благопристойной и чистой. Юродивой и святой. Будь, если можешь, счастливой. Будь!»

Ответьте, Биограф, в чем фокус? За что мы столь возлюбили Россию, что, и оставив ее пределы – оставив надолго, если не навсегда, – все никак не можем о ней не терзаться, не маяться – ну за что? За умение пожить на широкий трен? За кротость и незлобивость ее монархов? За лихость ее лихачей, палачей и разбойников? За расхристанность братьев ее Карамазовых и хулиганов Раскольниковых? А может, за расстегаи, за шанежки, за блины с икрой? Что ж, в частности и за это. Но более мы ее возлюбили за то, что в ней протекло большинство воплощений наших; что почти всякий раз утонченная наша Психея, покинув избытую оболочку на усмотрение академиков, ретируется в плотное русское тело. В тело русского созерцателя и работника, в живые мощи бессонного борзописца и пса борзого, в тушу лавочника и в тумбу молочницы, в белошвейку и в скакуна. Странно, дивно. Ведь там-то, в зыбких мирах, на досугах, чего бы, казалось, не выбрать Отчизну теплее, уютнее, плоть постройнее, поглаже, приятней наружностью. Нет, даже и там, в непочатом краю свобод, сызнова мы выбираем русские судьбы, сызнова возвращаемся на родные круги: кто на каторгу, кто в присутствие, кто на паперть, а кому положено править – в Сенат. Ибо русскость есть онтологическое качество наших душ, которое неиссякаемо. (Подробнее об этом см. в моих «Кармических сочинениях» в девяти томах, издательство «Славянский Базар».)

Сколько раз, совершая деловые прогулки по кладбищам многих стран, доводилось выслушивать сетования упокоенных там соотечественников, точнее, незримых тел их желаний, на жестокою эмигрантскую грусть. Не ведая в слепоте душевной, как вернуться в пенаты, они десятилетиями ожидали достойных okazji, а не дождавшись, вселялись в новорожденных летучих мышей и с весною – неслись. А если не было и таких вакансий,

то принимали обличие сороконожек, цикад и гадов, чтобы усемнить, упрыгать или хоть уползти восвояси.

Журнал «Хай Сосаэти» («Высшее общество» (англ.)) в канун Рождества присылает мне традиционную анкету. На вопрос «Ваше представление о несчастье?» я всегда отвечаю: «Живя на чужбине, внезапно обнаружить себя прохладным и гибким существом, пресмыкающимся о родине: тихий, шипящий ужас». «А – образ счастья?» – допытывается журнал. Мой ответ: «Пребывая в здравом уме и твердой памяти, в тепле и достатке, а главное – в своей собственной плоти, селиться в Отчизне, следить порханье ее снегов, вкушать голубики ее со сливками – да дрочен, да оладьев – внимать ее благовестам – слушать узорчатых беспрестанных птах – и по мере сил и возможностей содействовать ее величавости».

Родина! Мы ли не прикипели к твоим щедротам всем тщедушием наших астралов. И не наши ли судьбы сплетаются, о Россия, в твою.

Встав из кресел, иду на прогулочную площадку гондолы. Земля пробуждается нехотя. Исподволь светает ее изможденный лик.

«Эуропа?» – спросил я у первого штурмана и кивнул на бледнеющие внизу огни.

«Си, си, эсто эс Эуропа», – ответил он. В петлицах его буржуазной тужурки бликовал перламутр.

«Утр, – нашел я к нему хорошую рифму. – Одно из утр».

Тусклея геральдикой муниципалитетов, ржавея рельсами конок, спицами вело, клинками штыков, эспадронов и шпицами кирх, под нами лежала изящная безделушка Европы.

На поле, где мы приземлились в одиннадцать с четвертью, нас – то есть меня с тюфяками – никто не встречал. Это входило в противоречье с инструкцией, ибо в ней утверждалось, что «коренастый, смуглый, лет тридцати пяти, с лоснящимися и переразвитыми, как у зайца, щеками и вывернутыми почти наизнанку губами носильщик за номером шестьсот шестьдесят шесть погрузит Ваше имущество на пролетку и отвезет Вас в имение Анастасии, где», – но дальше начинался другой параграф инструкции.

Свив по пути венки из анютиных глазок и кошачьего котовяка, я украсил им темя и бодро прошествовал в здание аэростанции – аляповатое и запущенное строение позднего рококо с неряшливо расписанными под Мироплафонами. И пускай носильщика под искомым номером здесь не было тоже – как не было никаких носильщиков вовсе – известная административно-хозяйственная жизнь в помещении теплилась. Несмотря на отсутствие паспортного контроля, видимость последнего, пусть и простым отданием чести, осуществлялась. А в мезонине, куда я поднялся из праздного любопытства, правили бритву, сучили ножницами, прыскали смехом пульверизатора, нафабривали усы. Так создавалась видимость парикмахерской. Производилось и впечатление вещехранилища. Личность, торчавшая в его оцинкованном жерле, в обмен на пятнадцать штук багажа протянула жетон сандуновского типа.

«Один?»

«Берите, это последний».

Поскольку большего никто не сулит, беру не торгуясь.

«А длинное не сдаете?»

«Баул? Исключается». И, споткнувшись о чистильщика щиблет (погода, по его мнению, стояла блестящая), я вышел на площадь. Впрочем, и тут, где публики было гораздо больше, нежели в здании станции, П. никто не встречал. Хотя по тому, с каким интересом его все рассматривали, он мог заключить, что инкогнито не состоялось – он узнан, и официальная цель приезда его – ни для кого не секрет.

«На резвых, Ваше Степенство!» – гортанно зазывали извозчики, прохлаждавшиеся у сельтерского киоска.

Усевшись, мы покатали.

Местность, ниспосланная мне Провидением в качестве придорожного антуража, ласкала глаз путешественника завидным разнообразием. Произрастали оршады, слюдянисто

отсвечивали потоки, пруды, в пущах водились фазаны и вепрь. А в чертогах, аркады которых увил честолубец плющ, благоденствовала местная аристократия. Виднелись также фаллоидные водонапорные башни, старинные акведуки и храмы. В них – губными гармониками архангелов – светозарно и архаично – гремели органы.

«А далеко ли путь держите, осмелюсь спросить», – сказал мой возница, дохнув на автора строк сыроватым грибным захолустьем полипов и альвеол да осеннюю скукой пищеварительного тракта, заштатного и разъезженного.

«Не знаешь будто», – ответил я сему простонародному человеку в холщовой рубаше навыпуск и в мешковатых, заправленных прямо в боты штанах.

«Откуда мне знать, – обернулся он. – Чай, на вас не написано».

«А – в печати?»

«Не чтец я, сударь, все недосуг: то пятое, то десятое».

«Ай да лукавец!» – воскликнул я мысленно и коротко приказал: «К бабуле!»

«Бабуля – дело хорошее, – отозвался возница. – Только вот адрес бы раздобыть».

«Милки-уэй, – сказал я вознице, побежденный его притворством. – Шато Мулен де Сен Лу».

«Доставим», – с деланной невозмутимостью молвил он.

«Погоняй же!» – воскликнул я в нетерпенье. Затем я достал из кармана своего кимоно инструкции и перечел. Ни в них, ни в моем намерении им прилежно последовать не произошло никаких изменений. И это порадовало. План действий, который мы с Юрием разрабатывали в Архангельском равелине, был дерзок и вкратце таков.

Вот я прибываю, вхожу. Вот вскоре после взаимных приветствий и светской, т. е. ни к чему не обязывающей болтовни предлагаю в кратчайший срок узаконить наши назревшие отношения и приступить к ним. Вот требую заблаговременного оповещения об увнучении через бельведерскую и прочую прессу. Затем предстояло всячески позаботиться о туалетах и пригласить наиболее видных деятелей послания, не говоря о сиятельствующих иноплеменниках. Прием имелось в виду обставить незаурядно. Следовало создать атмосферу избранности, для чего стол в гостиной накрыть на персон девяносто, не более; остальные закусывают а-ля фуршет, на кухне и в дворницкой. Хорошо пригласить тапера. Пускай анфилады залов закружатся в вихре гавота! Пусть все смеются и шутят! А собственное поведение по преимуществу сдержанное. Улыбку производить в основном уголками рта. С лицами относительно невысокого происхождения соблюдать дистанцию. Чокаться выборочно. На брудершафт пить только с прямыми наследниками престолов. По завершении церемонии, м. б. в тот же вечер, начать сбор сведений о крестословских связях семьи. Полученную информацию передавать Андропову в Эмск дипломатическими каналами. Методы визнавания не оговаривались, но разумелись сами собой. О внучатые ласки! перебирая любимые снимки бабули, переданные мне Юрием накануне отлета, я уже предвкушал вас.

План дальнейших поступков долженствовал воспоследовать.

Тени укоротились. Парит.

«Что, братец, никак гроза собирается?» – толкаю я в бок мечтательно погоняющего возницу.

«Как угодно-с», – роняет он мрачно.

Замок, или, если угодно, шато, к которому мы наконец подъезжаем извилистым и кремнистым изволомом, стоит на взлобье горы и построено в вычурном ранне-готическом стиле. Сердце, изболевшееся по семейным узам и обязательствам, скачет и дает антраша.

«Мир тебе, тихая заграничная гавань, пристанище моего исковерканного сиротства!»

Шато молчало.

Возлюбя наезжать куда бы то ни было приятным сюрпризом, распоряжаюсь остановиться не доезжая, даю вознице банкноту в одиннадцать кло, что по тем временам почиталось немалой суммой, и далее отправляюсь бесшумным пешком. Кабриолет разворачивается и пропадает.

Неспешно, стараясь не причинить резонанс, следую я подъемным мостом, переброшенным через ущелье какой-то гремучей реки, и вступаю на тот ее берег. И тут случается любопытнейший казус.

Поодаль, у полноводного озера, на софе картинно раскинулась дама того несказанного возраста, в котором – как полагает наша всезнающая молодежь – все в прошлом. Этюдик, мольберт – не раскрыты. Их, может быть, и не видно. Зато на плетеной из марокканской ветлы козетке расставлен уже недоеденный пока натюрморт: пол-арбуза, огрызок яблока, остатки кроличьих лапок, куриных крыльев, поросячих мозгов и похожая на вырезанный аппендикс колбаска венская.

Оценивая этот концептуальный шедевр, я не мог не поразиться своей графологической прозорливости: бабуля была-таки не чужда искусствам! Причем не только этюд, а и облик самой художницы будили в ее без пяти минут внуке какие-то встречные артистические флюиды. Да и поза лежавшей внушала самые неподдельные чувства. Тем паче что новомодный купальник, пошитый под пеньюар, почти что не скрадывал ее старофламандских форм.

«Анастасий Николаевна, бабуля! – кричу я, весь впечатленье.– Я прибыл!»

И знаете, что примечательно? Та не слышит. Забылась ли? Впала ли в каталепсию? В летаргический сон? Говорят, на пленэре последний особенно освежающ. Или с ней нечто вполне летальное? Коли так, то во избежание кривотолков мне следовало бы немедленно удалиться. Ибо законы чужой страны, при всем нашем к ним уважении, зачастую грубы и абсурдны. Есть, например, державы, где термин «презумпция невиновности» почитается надругательством над памятью жертвы. А может быть, бабушка попросту тугоуха? И вот – ничего не известно. Как вдруг художница восстает из мертвых и сладко потягивается.

«Погодите, я сделаю вам потягуси!» – заботливо устремляется к ней дерзающее лицо.

Вы смотрите сверху: просторное озеро, дюны, кусты и луг. Лугом, стремясь оказать внучатые ласки бабушке, стремится солидный молодой человек в калошах, перчатках и канотье. Стоя к нему спиной, та не видит бегущего. Несомый им на плече баул стесняет его движенья. Отброшенный на бегу в изумрудную зелень трав, причудливо он в них пестреет. Участливо простирает бегущий к стоящей руки свои и, достигнув, ладонью ей прикрывает глаза.

«Угадайте-ка, угадайте-ка, кто приехал»,– интриговал он старую женщину, подталкивая ее обратно к софе.

Та – вырывается. Игриво она запрокидывает чело и, кокетливо ковыляя, уходит в бега. Вызов принят. Неловкий, скинув пыльник, а заодно обрушив в травы и натюрморт, приезжий припускается следом. Посохом служит ему в пути огромный, небрежно сложенный зонт, по случаю приобретенный на крепостной барахолке, а шнурок унаследованного от дяди пенсне так и вьется. И в этом горячечном беге по дюнам, в этой полушутливой, полуребячливой, но по-своему бескомпромиссной погоне по свежему следу определенно есть что-то от символистской эстетики. А полдневное солнце (Вы смотрите снизу) лоснится, и ластится, и ликует.

Нагнав беглянку, молодой человек опрокидывает и ее. Только уже не в зелень, не в изумруд, а в оранжевый жар песка. Обрушивается и сам. Случайно раскрывшийся при падении зонт целомудренно осеняет собой все дальнейшие действия пары, лишая Вас элементарного зрительского удовольствия. Вы смотрите, но ничего не видите .....

..... В процессе мероприятия я заглянул ей в ушные раковины. Ларчик, конечно же, открывался просто: входы в их лабиринты, поросшие чуть ли не кукушкиным льном, закупорены были ватой. Достав из карманного несессера лупу и филателистический мой пинцет, я скупыми, но точными жестами Гиппократу вернул пациентку в мир звуков. И тут, при виде изъятых шариков, скатившихся на песок, словно с холста эпатирующего супернатуралиста, меня передернуло. Беглянка в ответ забилась, заерзала и вскоре обмякла. Обмяк и я.

Пахло водорослями.

Потом, когда, оживленно болтая о том да о сем, мы шли, направляясь вдоль берега в сторону средневеково мрачневшего за кипарисами замка, я вдруг обратил внимание, что болтаю-то, в сущности, только я, а спутница – просто жуёт губами. И отстранился.

«Бабуля, а что это вы не в духах? Поделитесь».

Не размыкая уст, та глядела несколько волком. Резонно было подумать, что бабушка не желает со мною беседовать из чисто светских условностей: мы ведь были еще не представлены. И тогда, опередив незнакомку на расстояние, показавшееся мне почтительным, я встал к ней анфас, сделал книксен и скромно назвал. Жертва своей художественной рассеянности и дальнорукости, я лишь тут рассмотрел ее подобающим образом.

Всей своей худородной и, я бы сказал, непотребной внешностью составляла она прямую противоположность образу, что сложился в моем сознании в качестве идеала бабушки. Я ведь грезил о бабушке крепких моральных устоев, о бабушке высоконравственной, строгой и необыденной; эта же виделась бабушкой, вообще говоря, – общепринятой, общедоступной, с порочными желваками на не имеющем никакого значенья лице. Вдобавок она только что разделила лоно своей природы с практически ей незнакомым странником, и, будучи им, я знал о ее падении прямо из первых рук и возможности усомниться в нем – не усматривал. Естественно, это было очень любезно с ее стороны, хотя это же делало ее в моих глазах бабушкой вовсе публичной, бабушкой, с позволения выразиться, полусвета.

«Я обознался, – сказал я себе в ту минуту. – Такая не может быть моей бабушкой». И оказался прав. Не возвратив реверанса, старуха сухо представилась именем, которое и не намекало на наше будущее родство.

«Трухильда Абрего», – сказала она прокуренным, как у Фон Стаде, меццо-сопрано и безо всякого перехода потребовала у меня денег за якобы оказанные ею услуги.

Меркантилизм Трухильды показался мне отвратителен.

«Не вымогайте! – бросил я ей. – Неизвестно еще, кто кому их оказывал».

«Сибелий!» – плаксиво возвала она к тому, кого нигде покуда не наблюдалось.

«К вашим услугам», – густо протрубил человек, вышагивая из беседки. Он был дремуч, монструозен. Рот его был утыкан тупыми, на совесть сработанными зубами. И он не спеша пережевывал ими какую-то сыпучую снедь, черпая ее большими горстями из кармана своего дворницкого передника. Судя по запаху, да и по виду, то был сушеный горох. Тяжелые складки на лбу едока свидетельствовали о трудном детстве, о сложных духовных исканиях юности, а бритый череп макроцефала не предвещал ничего хорошего. И еще меньше хорошего предвещала дубина, что держал он в одной из рук.

Я смешался.

«Сибелий, меня обманули, – притворно всхлипывала Трухильда. – Скажите им, пусть заплатят».

«Платите», – буднично предложил мне Сибелий. Очи его были круглы и печальны, словно часы без стрелок.

Я заплатил.

«А, то-то же», – назидательно сказала она. Обильно слюнявя пальцы, Трухильда считала данные мною кло. Сочтя, она сунула их в чулок. Впрочем, не все; две или три кредитки старуха дала Сибелию. Тот опустил их в карман, где и смешал с горохом.

«Послушайте, – осведомился я корректно, – а вы тут, собственно, кто?»

«Кто надо», – проинформировал он.

«Не грубите, – сказала ему Трухильда. – Господин уже расплатился».

Сибелий хмыкнул.

«Сибелий – наш управляющий», – объяснила Трухильда.

«А вы?» – молвил я.

«Я – кухарка».

«Боже милостивый! – подумалось мне с какою-то сардонической жутью.– Связаться с продажной женщиной, да еще и с кухаркой!»

«Откуда такая разборчивость»,– съязвил мне внутренний голос, намекая на шуры-муры с Жижи и Ш.

«Оставьте! – приказал я ему.– Жижи – не в счет. То была абсолютно абстрактная страсть, опрокинутая куда-то вовне. Моментальная вспышка. А Ш.– я имел к ней чувство. А чувство, м. г., оно, как проворовавший Громовержец: спалит все дотла – и спишет. (Гроза, несмотря на индифферентное отношение к ней фээтонщика, действительно собиралась.) А главное, главное, мы никогда не вступали в товаро-денежные отношения, и никогда дух наживы не витал в наших кельях!»

«Так,– сказал я Трухильде.– А где хозяйева?»

«На галерее,– сказала она.– Пойдемте».

Накрапывало. На западе озоровали зарницы. Тень Сибелия с палицей на плече следовала за нами.

«А отчего это меня не встречали нынче?» – чтоб не молчать, обратился я к моим чичероне.

«Знать, птица невелика»,– рек Сибелий.

Тогда, указывая на него большим пальцем, Трухильда сказала: «Не обращайтесь внимания, мы у нас не в себе, потому что, когда наша матушка была на сносях, случился потоп, и ее потоптали гиппопотамы».

«Ложь! – с прогорклой обидой в горле крикнул Сибелий.– Страусы!»

«Гиппопотамы»,– спокойно возразила кухарка.

«Страусы!» – заорал Сибелий. Пароксизм настойчивости исказил его вдавленный лик.

«Гиппопотамы, братец, гиппопотамы»,– ехидно твердила Трухильда и пародировала их разбитную походку: шла, лукаво дразня ягодицами, лакомо косолапя.

«Страусы! Страусы!» Управляющий отбросил дубину и в намерении произвести надлежащий эффект запрыгал и замахал руками. Как страус он был воплощение гротеска. Сыпавшийся из его кармана горох мешался с пошедшим градом.

«Не верьте ему,– говорила Трухильда.– Он все перепутал. В детстве мы жили в Австралии, но родились в Месопотамии – сразу после потопа. Так что это могли быть только гиппопотамы. Только».

«Вы – близнецы?»

«Разумеется,– возражала старуха.– Разве не видно?»

Действительно, не было бы на свете двух более схожих между собою людей, если бы не их поразительное различие. Не усматривая, однако, принципиальной разницы, там или тут, равно как те или эти твари атаковали мать нашего управляющего и кухарки, я дал себе слово, что нынче же похлопочу об немедленном их увольнении. И, оставив спорящих, зашагал круто к ветру.

Вскоре я оказался на галерее замка. Каменная лестница вела куда-то на верх, вероятно, на самый. Лакей, кативший вдоль балюстрады легкий холодный ужин с клико, молвил, что вследствие непогоды господа перешли в каминную, и спросил меня, как доложить.

«Доложи: Аноним из России,– ответил я.– Знатный странник».

Слуга хотел уже уходить, когда я подумал, что следовало бы явиться в сей дом на правах своего человека, но только не как-нибудь, а как-нибудь так, чтобы сделать явление знаменательным. И, не желая впутывать в это узкосемейное дело лакея, я дал последнему денег и приказал ничего не докладывать.

«Воля ваша»,– ответил взяточник, удаляясь.

«Мир стяжательства и коррупции,– мыслил я по поводу мира, в котором приходится жить.– Мир, где царит расчет, аккуратность, точность и процветает посредственность. Мир филистеров и человеков в футлярах. Мир, где толпы по-прежнему взыскуют лишь хлеба и зрелищ, а глас поэта презрительно незамечаем». Так, слушая, как, постукивая на стыках замшелых плит, отъезжает закусочная околесица, мыслил я в наступающем одиночестве. Щеголеватые, но бесплотные рыцари, украшавшие перспективу аркад, лишь

усугубляли его. Правда, я все-таки не отказал себе в удовольствии осмотреть их ратную утварь. Их латы, копыя, мечи относились к эпохе развитого кузнечного производства, когда металлические отношения определили весь ход поступательного процесса, когда деревянные сохи сменились железными, а маски и колпаки арлекинов – забралами и киверами кихотов. Однако и та эпоха пришла в упадок. Она обветшала и рухнула. И вот уже я, обитатель очередного столетия, люблюсь, как на сих смехотворных сейчас доспехах бликуют зарницы нового дня, каждая из которых способна придать энергию тысячам электрических стульев. Теперь я знал: сын эры высокого напряжения, я должен войти в каминную нашего замка не иначе как с первым ударом грома, подчеркивая тем самым огромность явления, указывая на его созвучие времени.

Облокотившись на балюстраду, я ждал. Пейзаж – расстилался. Цвета грозового фронта были сурик и ртуть. В зияньях – закатная медь и цинк. Ветер – сыр и порывист.

И дальний колокол.

Непогода и быстро наступавшая темнота обострили мне все инстинкты и чувства, и в какое-то из мгновений я понял, что далеко не впервые стою на галерее данного замка, обозревая его окрестности. Я опознал их детально. То был эффект умозрения, доказывающий регулярную обращаемость нашу на круговых путях бытия: воспоминанье о будущем, провиденье прошлого. На Западе сей феномен зовут дежавю, у нас – ужебыло.

Тесным армадой туч, я медленно отступал в направлении каминной и наконец оказался в ее преддверье. Типичный образчик барочных сеней с в меру выпрненным рококо пилястров и каннелюр, преддверье было украшено фресками Боттичелли, Мессины, Вальполичелло, Ламбуско, Кампари, Перно и других искусников Кватроченто. Смоленной гикори дверь содержала мозаичные вкрапления на сюжеты древних шахматных композиторов и геральдистов. Была приоткрыта.

Разговор в каминной, невольным слушателем которого я стал, перекликался с моими недавними размышлениями.

«Мой умывывод пока что тот,– говорил кто-то голосом, лишенным каких бы то ни было нот упования,– что суть нашего жизнесмысла непознаваема».

«Типичная ницшеанская бесовщина,– заметил голос благовоспитанного клаксона.– Мы живем в восхитительные века,– витийствовал он.– Непрестанно ведутся поиски утраченного времени, ищутся и находят новые манускрипты, скрижали, бесценные факты отшумевших эпох!»

«Мне бы ваши заботы,– насмешливо мямлил ему в ответ собеседник.– А впрочем, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

Гром раздался. И со словами «Мир дому сему!» возник я в проеме дверей.

В просторной комнате, за столом, покрытым бязевой скатертью, и в крахмальных сорочках ужинали два господина различных статей и лет. Перед ними за занавесом из старых кольчуг разыгрывалась феерическая инферналия домашнего очага. Вещавший голосом благовоспитанного клаксона был румяная круглая сдоба недавней, явно университетской, выпечки. Прочий, с голосом, лишенным нот упования, был раскисший в бульоне ржаной гренек пенсионного возраста. В значительное отличие от первого, сидевшего на рыцарском кресле, второй господин восседал на высокой конструкции для расслабленных, что будила в Вашем воображении образ турус на колесах. Кроме колес у нее различались страховочные перильца по трем сторонам, спинка и полка для ночного горшка под сиденьем с овальным провалом. Живость, правда, оставила восседавшего не вполне: он, казалось, не только переживал, но также и пережевывал ужин всем сердцем.

«Вы – ретроград! – упрекнул я его с порога.– В эпоху, когда целым нациям отшибает коллективную память, нам, этрускам, следует особенно дорожить всякой справкой о прошлом. Ибо кто же мы станем без нашей архивной документации, куда погрядем. История! Светоч гуманитарных наук, подумайте. Да народ без нее все равно что беспаспортный беглый каторжник: никаких перспектив, бродяга».

«С кем честь имею?» – вяло, хоть не без некоторой иронии, поинтересовался гренек.

«Палисандр Дальберг», – ответил П., резко вскидывая подбородок.

Он был в центре внимания и, стоя на фоне вешалки, несколько рисовался.

«А вы, я догадываюсь, Сигизмунд Спиридонович?»

«Боюсь, я скорее Адам Милорадович», – ответил гренк и обернулся к своему сотрапезнику за поддержкой: – Ведь так?»

«Вне сомнений. Вы Адам Милорадович Навзнич. А я – Модерати Петр Федорович, ваш зять, онекун и, если угодно, нотариально заверенное лицо, адвокат», – косвенно отрекомендовался тот.

«Я прибыл сюда по делам деликатного свойства и желал бы видеть хозяев имения», – сказал Палисандр.

«Хозяин имения я», – сказал Адам Милорадович. – Но насколько мне представляется, я такими делами не занимаюсь. Да и у дел ли я в целом? Наверяд ли, навряд». Он вздохнул.

«Вы теперь не у дел», – мягко молвил ему Модерати. – Вы отдыхаете».

«Вот видите», – сказал Палисандру Адам Милорадович, – я оказался прав. Я теперь на заслуженном отдыхе, не у дел, и мой нотариальный свидетель обеспечивает мне алиби. Поэтому не доверять мне у вас нет никаких оснований». И он удовлетворенно высморкался.

«А вы не ошиблись случайно замком?» – спросил Модерати.

«Не думаю», – отвечал Палисандр. – Это ведь Мулен де Сен Лу?»

«Как будто», – сказал адвокат.

«Быть может», – сказал тогда Палисандр, – может быть, вы смогли бы мне указать, где в таком случае жительствоуют барон Чавчавадзе-Оглы и супруга его Anastasia».

«Жительствоуют? Мне кажется, это слово не очень точно определяет их нынешнюю ситуацию. Вы, верно, оговорились. Я думаю, вы хотите спросить, где они упокоены».

«Нет», – сказал Палисандр. «Non», – сказал он. – Nolo».

«Они упокоены здесь, в Бельведере», – сказал адвокат.

«О горе!» – вскричал ему Палисандр.

Известие было действительно не из приятных, т. к. в случае его подтверждения рушились все заграничные планы. Казалось, будь его воля, П. кликнул бы стражников с алебардами, и они укоротили б зловестника на целую голову.

«Клянитесь!» – сказал приезжий.

«Слово душеприказчика. И если желаете, я покажу вам свидетельства об их смерти, нотариально заверенные лично мною. Точнее – копии, потому что оригиналы свидетельств хранятся в мэрии. Но копии довольно хорошие, четкие».

«Ах», – вздохнул Адам Милорадович, кушая бланманже. – Я тоже, признаться, долго не мог поверить в эти кончины. Вы помните?»

«Да-да», – подтвердил Модерати, – достаточно долго».

«Чудесные были люди», – делился воспоминаниями Адам Милорадович. – Благодетельные, работающие. Не их ли собственными руками разбита клумба у нашего дома призрения. Вообразите: огромная клумба с кактусами. Просто прелестно. Ничто так не украшает позднюю старость, как кактусы, говаривали покойники. А как они огорчались, как сетовали на смерть, когда уходил кто-нибудь даже не слишком близкий. И ни одна панихида у нас в долине не обходилась без их живейшего участия». Навзнич был неподдельно эпитафичен, и бланманже капало ему на слюнявчик. «Однажды я спрашиваю: баронесса, ну что же вы с Сигизмунд Спиридонычем так расстраиваетесь всякий раз. Неужто все они стоят ваших терзаний? И знаете, что она отвечала? Дурные, говорит, батюшка, люди не умирают. И вот вам пожалуйста: сами же и скончались. Не правда ли?»

«Но как же это могло случиться!» – сказал Палисандр, мысленно заламывая себе руки.

«По-разному», – возражал Модерати. – Барон хворалхворал да и отошел понемногу. А баронесса – та в одночасье отмучилась. Дело житейское, знаете. А имение Адаму Милорадовичу перешло. Я как раз ему и оформил все в соответствии с завещанием».

«А вы кто им будете?» – обратился я к Навзничу. «Адам Милорадович приходился им внуком, – объяснил адвокат. – Приемным внуком».

«Не хотите ли вы сказать, что его увнучили?»

«Абсолютно».

«Да почему – его? На каком основании?» Я расстегнул себе верхний крюк.

«На основании результатов конкурса», – рек Модерати.

«А разве был конкурс?»

«Негласный. И сколько помнится, первой кандидатурой шел какой-то высокородный отпрыск из Эмска. Шел-шел, да задерживался, все что-то не ехал, а позже мелькнуло, кажется, сообщение, что он плохо кончил. Так что его и ждать перестали».

Чудовищная гипотеза просияла в моем удрученном мозгу, слушая адвоката: «Албанское Танго», в котором я прочитал объявление покойных ныне супругов, было не первой свежести. Подтверждение догадке сыскалось мигом. Я вспомнил опубликованное в нем пророчество футуролога, что белье для дам зашагает в ногу с прогрессом. Теперь, находясь в каминной шато Мулен де Сен Лу, я умозрительно переворошил туалеты своих симпатий – воспитательниц, нянь и тетюшек разных пор – и понял, что время, предсказанное пророком, давно наступило. Ибо белье переставало быть актуальным уже во дни моих благородных ремесленных классов, что, увы, и содействовало падению нравов.

Меня передернуло.

«Что это с вами? – беспокоился Модерати. – Вам дурно?»

«Мне странно», – сказал Палисандр.

Ему предложили раздеться, стул и кружку козьего молока.

Он сбросил безвольно пыльник, однако ни пить, ни садиться не стал.

С другой стороны, связал я прерванную нить размышлений, в «Албанском Танго» было помещено сообщение о самоубийстве Лаврентия, каковое событие пришлось уже на мои монастырские дни, то есть случилось почти недавно.

Дабы преодолеть открывшиеся вдруг временные «ножницы», я довольно легко убедил себя в том, что русская мода несколько опережает этрусскую: то, что пока еще носят в консервативной Европе, в России уже перестали. Куда труднее было избавиться от непривычного ощущения, что опоздал – не поспел – прибыл к шапошному разбору.

«А что вам странно? – сказал Модерати. – Развейте мысль».

«Мне странно, что господин, кушающий себе бланманже и не дующий в ус, занимает место под солнцем, по праву принадлежащее совершенно другому».

«Кому это?» – Навзнич язвительно повертел головой, делая вид, будто ищет кого-то взглядом.

«Мне, Адам Милорадович, мне. Ибо высокородный отпрыск из Эмска, который якобы плохо кончил – он перед вами».

Все помолчали. Зарницы вспыхивали беспрестанно. «Зачем же вы столь припозднились?» – спросил адвокат.

«Я был сослан, гоним. Я замешкался по монастырям и острогам. Я сиротливо мытарствовал и страдал».

«Вот и страдали, и мытарствовали бы далее, – развязно заметил Навзнич. – Чего ж благородней! И нечего было ехать».

«Побойтесь Бога! Разве я мог забыть о своих внучатых обетах, пускай и заочных. Я никогда не простил бы себе ничего подобного. И потому – лишь случилась оказия – во исполнение их кинул я все, вплоть до самой Отчизны включительно. Но – следите – следите с пристрастием! – но, приехав по данному адресу, выхожу персона нон грата. Меня не только не встретили, а и не ждали. А господину, жующему бланманже, все сие – трын-трава. Ему нисколько не совестно, что он каким-то обманым манером занял вакансию, уготованную иному».

«Отчего непременно обманым,— сказал Модерати.— Адам Милорадович поступал по всем принципам, сообразуясь с уложениями о положениях. И кроме того, он тоже и сирота, и отпрыск: светлейший князь Черногории, если угодно».

«Пусть хоть Месопотамии! — возражал я тогда адвокату.— Трудно и вообразить, насколько надо было втереть очки почтенным супругам, чтоб те, не дождавшись прекрасного юного соотечественника, увнучили некоего иноплеменного ремоли со слюнявчиком, ничтожество на этажерке с горшком!»

Светлейший затрясся. «Вы оскорбили меня в присутствии нотариально заверенного,— разжиженно завизжал он.— Вы — хам, и я попросил бы у вас сатисфакции!»

«Фехтовать! — бросил я умозрительную перчатку.— Я проколю вас, как коллекционную куколку».

«Шпаги в ножны»,— твердо приказал Модерати. И тут я почувствовал, что не сумел бы послушаться этого визуально мягкотелого интеллигента. В нем было нечто от моего учителя черно-белой магии Вольфа Мессинга — какой-то неумолимый стержень. Когда маэстро был еще в силе, а я — лишь копил ее, он единственный из всех педагогов мог заставить меня, ребенка, выполнить свои указания. Методы Мессинга общеизвестны: гипноз и внушение через влияние.

«Шпаги в ножны»,— повторил адвокат. Исходившая от него энергия подчинения была почти осязаемой. И не без некоторого удивления я подчинился. Затих и Навзнич.

Поднявшись из кресла, Петр Федорович шелкнул подтяжками и оборотился к огню. Озаренные им щеки его, наводившие на раздумья о двустороннем флюсе, о Грибоедове, о партитурах его недописанных вальсов, разодранных фанатиками ислама заодно с композитором и дипломатом,— были переразвиты, как у зайца. Они лоснились. Однако губы нотариально заверенного казались более втянуты, нежели вывернуты. Иными словами, на роль шестьсот шестьдесят шестого носильщика он не годился.

«Мне представляется, мы беседуем в обстановке какого-то опереточного недоразумения,— рек адвокат.— Позвольте,— он посмотрел на меня,— позвольте задать вам, сударь, нескромный, но вместе с тем совершенно анкетный вопрос относительно вашего возраста».

«Я готов,— отозвался П., становясь в основную позицию.— Задавайте».

«Сколько вам лет?» — наотмашь хватил Модерати.

«А сколько б вы думали?» — парировал я, закручивая пируэт вероники. Дыхание мое участилось, будто в предвиденье незабываемой встречи.

«Пожалуйста, не кокетничайте,— сделал он выпад.— Я волен думать о вашем возрасте все, что заблагорассудится. Но я сейчас ни при чем. Это — ваш возраст, и поэтому важно, что вы сами о нем полагаете. Ну, так сколько?» — уколол адвокат.

«М-м, да лет что-то такое шестнадцать, что ли, семнадцать».

«А если точнее?»

«От силы осьмнадцать, Петр Федорович. От силы. Конечно, я могу заблуждаться, с кем не бывает. Тем паче что я ведь себе не нянька, ходить за собой не приставлен. Да и что щепетильничать, чего там нам с вами бухгалтерствовать на предмет ловли блох, подумайте. Все одно не упомнишь, не уследишь. Годы-то, сами знаете, как стремят. Как воды. Здесь плюс, тут минус. И все сквозь пальцы да сквозь пески. А вы в метрику, в метрику, если угодно, извольте взглянуть, там указано. Только где она — метрика? Только она у меня в багаже, Петр Федорович, в багажике, вместе с прочими документами. А багаж, как известно, в камере. Так что одно из двух: ждать утра, зари и с первыми птахами и лучами мчаться на станцию относительно метрики — иль поверить мне на слово. Либо — либо, решайтесь».

Модерати не отвечал. Тогда я вывел взор из прострации и осмотрелся.

Князь Навзнич, углубившись в свежеподанные улитки, в беседе более не участвовал. Неторопливость моллюсков, казалось, была заразительна, ибо по мере их поглощения он кушал, мыслил и восседал все медленнее.

А Петр Федорович – тот просто стоял у камина и в упор свидетельствовал поступки мои и речи. Во взгляде его мешались два компонента: насмешка и жалость. Никто еще, надо сказать, не смотрел на меня таким скверным образом. Потому что я никогда не заслуживал подобного на себя воззрения. Воззрения, граничащего с презрением. Да прежде я бы и не потерпел его, я бы пресек. Отчего же не пресекаю нынче?

«Что вы задумали, Петр Федорович? Зачем это отчуждение, холод? Разве я их достоин?»  
Мой глас был шепот.

«А разве – нет?»

«Не знаю, право, не знаю. Откуда мне знать. Хотя я могу поручиться, что в основном стараюсь быть всячески на высоте. На высоте положения. Ибо оно обязывает, возвышает. А потом еще воспитание. Верите ли, я довольно незаурядно воспитан. Но, может, все это уже далеко не так – кто ведает. Может, мой опыт, вкус и манеры здесь не найдут ни малейшего применения. Или уже не находят. И получается чистый вздор – абсурдистика – ничто о ничем. В общем, смотрите, вам, верно, виднее. Смотрите, но будьте тактичны, вежливы, соблюдайте меру. К чему столько воли к власти. Смотрите, но не насквозь!»  
Смятение мое нарастало. Я шепелявил и бормотал.

«А сами,– сказал Модерати,– неужели вы сами не пробовали понаблюдать за собою со стороны, сравнить, так сказать, точки зрения на свой собственный счет – ту и эту?»

«О, вот вы о чем, понимаю. Нет, Петр Федорович, не довелось. При всей моей отрешенности от всего примитивного, низменного, я до сих пор не решился. Предательское малодушие – неожиданные движения душевного поршня вспять – соображения чисто практического порядка – дескать, а вдруг не вернусь, что тогда? – кто продолжит вместо меня мой земной, телесный мой путь? – все сие повисало пудовыми гириями, и выход в астрал всякий раз откладывался и откладывался. А в принципе спору нет – седуктивная штука».

«Оставьте, какой там астрал. Я говорю об элементарном зеркале. Вы когда-нибудь обращали,– сказал нотариус,– обращали ли вы,– он сказал,– вы внимание,– выговаривал адвокат,– на собственное,– подчеркивал он,– отражение в зеркале? Или еж елакрез в еинежарто еонневтсбос ан еинаминв илащарбо ен адгокин ыв?»

«Ну что вы, стоит ли обращать внимание на подобные пустяки»,– легкомысленно молвил я, покрываясь атавистической конской испариной.

«Э-э, приблизьтесь»,– потребовал он.

«Не губите!» – одними губами воззвал я к его милосердию. Тем не менее встал и шагнул, не владея ничем в рассуждении органов передвижения и баланса. Идя – был предказненно беспредметен. И одинок. Сердцем – гулок. И – шел. И, приблизясь, приблизился. Он же, который приказывал, посторонился. Тогда – открылось. Тогда – зазияло овално. Тогда – засквозило глубокой голубизною осеннего омута – провалом винтового лестничного пролета – о, о – тогда.

Я отпрянул.

«Чего вы страшитесь? Пугает ли вас Зазеркалье? Считаете ли, что это епархия дьявола? Верите ли, что разбитое зеркало – весть о смерти?» Меня забросали вопросами.

«Я не думаю о таких материях, Петр Федорович,– П. сказал сокрушенно.– Все вами названное – не моего ума пища. Но я не хочу, не хочу лицезреть себя. Не имеет значения, где: в зеркалах ли, в витринах, в очах мимохода иль где там – да мало ль. Вообще поразительно, сколько вещи, явления или события отражают – или способны – при минимальном воображении нашем – нас отразить».

«Как вы дошли до этого? Что с вами случилось? Когда?»

«Вы, может быть, не поверите,– начал я,– но когда-то я был относительно маленьким. И покуда не вырос, все полагал, что все люди за исключением меня – безобразны. Имея в ту пору ясный – впоследствии замутненный бельмом – взгляд на вещи и на подобных себе, я понимал их подобность в узком, софистическом смысле. В том смысле, что все они или равны меж собою или подобны себе самим. И, не усматривая в том никакого

противоречия, отчетливо различал их внешние, да и внутренние недостатки: от грязных носков до защемления грыжи. А сам я был чист и здоров и думал, что ни к чему не причастен. Причина моих заблуждений? Она тривиальна. В той крепости, где протекло, или лучше сказать прошествовало, величавое, словно равелевское болеро, мое детство, зеркала почитались роскошью. Их хранили по сундукам и запасникам, а зеркальные стены покоев были задрапированы бархатом и панбархатом приблизительно на три аршина от плинтуса: там стояла эпоха тотальной скромности, Беззеркалье. Так что если я и страдал нарциссизмом, то он был довольно абстрактен. Случилось, однако, так, что я вырос. Я вытянулся за черту драпировки, увидел свое отражение и пережил типичную драму смертного человека. Мне стало вдруг ясно, что я не лишен присущих всем остальным недостатков, то бишь – нелеп и гадок, как все остальные. То есть – подобен им, эрго – причастен к их порочному кругу. И потрясение едва не погубило начинающего артиста».

«Вы что – рисовальщик?» – перебил адвокат.

«Я – хроникер текущего времени, Петр Федорович. Хронограф. И дабы запротоколировать его, не пренебрегаю никакими условностями. Вернее – искусствами. Сочиняю, рисую, слегка музицирую. Не чужд и хореографии. Словом – артист, Петр Федорович, артист. Ничего не попишешь».

«Продолжайте», – сказал Модерати.

«А где мы остановились?»

«Потрясение едва не погубило его».

«Совершенно верно. Едва. Т. к., несмотря на внушительные размеры, он был невероятно раним, утончен, обладал элитарным сознанием. И вот у него горячка – судороги – виденья – и мысль поминутно рвется, словно гнилая тесемка. А выздоровев, решил сколь возможно забыть о своем типичном уродстве, что в первую очередь означало – бежать своих отражений. И он бежал. Поначалу с весьма переменным успехом, ибо они не дремали тоже. Тем более что Беззеркалие кончилось. Скромность вышла из моды, ушла в резерв. Зеркала извлекли из запасников, а драпировку содрали. Отражения стали подсматривать, подкарауливать в самых внезапных местах. Они постигали, как озарения свыше. Они ослепляли, глумились, мучали страхом. Кроме стекла и полированного металла и дерева коварствовала водная гладь. Опасны были озера, реки, болота, пруды и лужи – их зеркала. Особенно ясной ночью. Но вряд ли было что во Вселенной ужасней, губительней и месмеричней ночного, полного дальних солнц, колодца. Ведь, отразившись в нем вместе с ними, вы словно бы начинали падать в его пролет, будто в космос. Падать и пропадать из виду, утрачивая себя, свою бесценную индивидуальность и бессмертную душу. Падать и становиться одной из миллионов падающих в беспредельность звезд. Кремлевский колодец! Ему безусловно не было дна, и он еженощно манил артиста своею волшебной кромешностью. Но молодой человек не сдавался. Жестоким усилием воли он заставил себя забыть о колодце. Борясь с отражениями, он придумал различные трюки. Так, пошивая у крепостного меховщика доху, он мог часами стоять перед зеркалом, не открывая глаз. А когда уставал, надевал очки с фиолетовой оптикой – для слепых, называемые им гомерическими. То же и у цирюльника. Позже возникла идея маски. Я стал почти постоянно носить всевозможные маски – палаческие, карнавальные, марлевые и т. д. Тогда справедливость восторжествовала, ибо мои отражения больше не узнавали меня, а я не узнавал в них себя. И следовательно, мы не узнавали друг друга. О душевное равновесие, я обрел тебя вновь. Вы же, Петр Федорович, желаете, чтобы я опять его потерял. Ради чего? К чему эта иезуитская казуистика?»

«Ради вашего будущего благополучия, – сказал Модерати. – Хотя благополучия относительного, конечно, поскольку абсолютного не бывает, да и не требуется: оно аморально».

Я силился возразить, но мои аргументы мешались в мозгу, как карты. Влияние Петра Федоровича было огромно. Теперь я почти усматривал шедшие от него токи, а нейтрализовать их собственными не смел. Его излучение обезволивало, превращало

дерзающего в трусливое и тупое жвачное, жующее собственные слова. И когда указующий перст нотариуса повелел мне вернуться к зеркалу, я сомнамбулически повиновался.

«Смотрите», – приказал Модерати.

Сонная гнусавость гипнотизера исключала всякие возражения. Ваш покорный слуга поднял веки и покосился.

Из-за прошедших накануне дождей в овале осеннего омута было мутно, и опознать дрейфующего в глубинах утопленника не представлялось возможным. Мешали его рассмотреть и листья – бордовые, ветром оборванные с обрамляющего терновника листья, гонимые им по всей поверхности водоема, как пьяные джонки.

«Извольте надеть пенсне, – настоятельно рекомендовал индуктор, будто откуда-то издалека. – А вуалетку – откиньте».

Поступив по им сказанному, лицо, претендующее быть мне подобным, обрело четкость черт. Не лишено моих примет и костюма, оно тем не менее представало чужим, и по-прежнему я не умел, а точнее – не желал – я отказывался опознать неизвестного – а? Вы слышите, господин адвокат? – не могло быть и речи о том, чтобы я согласился когда-нибудь опознать претенциозного самозванца. Ведь он – он ведь был каких-то решительно неприемлемых – неуместных – неподобающих, а главное – каких-то решительно непоправимых лет. Даже весьма приблизительная их сумма не укладывалась в сознании Вашего корреспондента.

Что делать? Вот воистину верный вопрос, долженствующий быть предложен себе самому, не способному опознать в возникшем живом мертвце самого же себя, но знающему, что это никто иной. Вопрос тем более правомерен, что в силу самодостаточности своей ответа не требует и не предполагает. Которое тысячелетье висит он над каждодневным из нас, рефлексирующих русских интеллигентов.

А – муть овала? – быть может, спросите Вы. – А – листья?

А муть овала осела, омут словно прозрел, и листья, казавшиеся бордовыми джонками, оказались бордовыми языками каминного пламени, отраженными в омуте. Озабоченно, по-кошачьи, вылизывали они отражение новоявленного старика, сплетаясь над мрачным его челом в огнелистый терновый венец. И я горел не сгорая, будто неопалимая купина.

Стояла вопиющая тишь. Только чавкал мой неудавшийся Чавчавадзе, князь Навзнич, твякали где-то собаки да катафалком по дряхлому мосту катилась над Бельведером гроза.

«Какой катаклизм!» – застонал я, точно спросонок, и, пав на колени, стал нищенски шарить ладонями по полу, по его хладным, могильного вида плитам. Не ведая, что творю, я приискивал то не знаю чего – подсознательно, подслеповато и тщетно. Не обретя ничего, кроме нескольких шариков бисера, я осознал, что искомое мною был растрянжиренный жемчуг лет, и, спонтанно и не вставая с колен, принялся излагать ламентации на быстротечность всего земного и заодно уж – с присущей мне щедростью выразительных средств – исповедался в своих обстоятельствах.

Местами я впадал в несусветности, вдохновенно бредил, и голос мой диаметрально менялся. Я глаголил в обратном порядке, на вдохе, не – из, но – вовнутрь, отчего теснившиеся в плотном теле переживания не находили исхода и буйствовали – и душили. По той же причине революционно менялся порядок слов в моих фразах и букв – в словах: первые становились последними, последние – первыми, а средние так и оставались посредственными. Услышав меня в тот час. Вы, верно, подумали бы, что мной овладели бесы или что я овладел новой группой мертвых наречий и мучусь их оживить. И в чем-то – были бы правы, ибо словообразование «Чернильный мешок каракатицы», употребленное мною наоборотно, звучало довольно по-арамейски. Тем не менее Модерати легко понимал меня. Оказывается, он тоже был полиглот и подобно всем полиглотам знал, как целительно всякое говорение, особенно искреннее. С течением моей речи она становилась плавнее, осмысленней, и душевное равновесие обреталось мной сызнова. Я возрождался из пепла.

«А знаете, Петр Федорович,— сказал я ему, подымаясь с колен,— знаете, дорогой мой, что я вам должен заметить?»

«Я слушаю вас внимательно»,— отозвался он, наблюдая, как губернёр с галунами разворачивает княжеские турусы и увозит на них опочившего Навзничу в опочивальню.

«А ведь это,— сказал я тогда,— это ведь я, пожалуй, с дороги так сдал. Дорога, подумайте. Она же не красит. Бывает, припудрит тебя в пути путевую пылью, припорошит, и все думаешь, думаешь — эх тебя, думаешь, сироту, возмужало да посуровело: не успел оглянуться, а уж и в деда себе записался».

«Сходите,— сказал адвокат,— и умойтесь».

«Куда прикажете?»

«Прямо по коридору».

«Слушаюсь. Впрочем, я с вашего разрешения принял бы душ, если только не ванну».

Он посмотрел на меня. «Законы гостеприимства не позволяют мне отказать вам».

«Вот и чудесно, вот и договорились,— говорил я ему, борясь с брикабраковской суетливостью собственных жестов.— А полотенце найдется лишнее? Да? А кремы? Халаты? Смена белья?»

«Все там, в ванной комнате».

«У-у, совсем замечательно. А то мое-то все в камере, знаете ли, хранения. А быть может, я там и переночую?»

«Где? В ванной? Но там, вероятно, сыро, сороконожки».

«О, это-то пусть, это штука привычная. Главное, чтобы вам беспокойства не оказать. Да, кстати, чуть не забыл. А не мог бы я, коль уж события приняли такой оборот, провести в вашем замке ряд дней — как вы мыслите?»

«Хамству вашему нет предела»,— сухо уведомил адвокат.

«Ах, Господи, зачем эта черствость! Я же ведь не настаиваю. Я просто подумал, вам все равно. Да и в самом-то деле, что страшного, если один этруск по-свойски погостит у другого недели, положим, с две — а? Устроились вы не пыльно, хозяйство обширное, озеро вон, гуси-лебеди плещутся, а гостей чураетесь. Странно, право. А может быть, вы желали бы выручить за услуги определенную мзду? Извольте, от выплаты не уклонюсь. Только счета — непосредственно в казначейство, Морозову. Адрес тот же, что у меня. Зафиксируйте. Кремль, Эмск, Россия. Просто во избежание путаницы. Договорились? Уж будьте любезны. А то скрупулистички не оберешься: расход-приход, нетто-брутто. Подумайте».

Он подумал и отвечал, что во мзде не нуждается и что, учитывая мою очевидную недееспособность, разрешает пробыть мне в замке пять дней.

«Пять? Негусто, милейший, негусто. Надбавили б от щедрот».

«Пять»,— сказал Модерати.

«А после?»

«После вам лучше уехать. У нас вам не будет удобно».

«Помилуйте, да куда из такой благодати уедешь! Здесь так живительно, так живительно. Уж ежели здесь не будет удобно, то где же будет?»

«На родине,— отвечал адвокат.— На родине». «Экий вы, право, скушный, идейный. Вы, Петр Федорович, пунктуал, вот вы кто!» — крикнул я, удаляясь прямо по коридору, по стенам которого висели портреты российских и европейских монархов текущих столетий. Санузел был оборудован в оранжерее, и крыша его была настоящий хрусталь. Цветы всевозможных растений повили, повалили ванну, как саркофаг. Окутаны теплой влагой. Вы созерцали ее же стихийные струи, вдребезги бившиеся о твердыню кристалла. Ночь почти перешла, но дремучий дракон грозы отсверкал далеко не всеми чешуями.

Есть лица, на пожизненное знакомство с которыми мы буквально обречены,— философствовал я на следующее утро, исподтишка изучая одно из них в туалетном зеркале ванной и параллельно вдевая стопы свои, освеженные ванным сном, в ботфорты, полные неизвестности. (Ибо мы никогда не знаем, что ждет наши конечности там, в

потемках, в потайных лабиринтах обуви, а заглянуть, поинтересоваться все ленимся. Недалеко, зная, ушли мы по части любознательности от прислуги своей.)

Бельведерская ночь не внесла, однако, существенных коррективов в мое отражение. А используя мыло, мочалку и даже пемзу, дерзающему удалось смыть не более двух-трех лет. Тут бы, казалось, и впасть в отчаяние, возроптать на судьбу, да таково уже свойство нашего человека и гражданина, что все ему нипочем. Прирожденный стоик, он свыкается с самыми плачевными обстоятельствами существования, терпит лишения до последней возможности и только затем, основательно взвесив все за и против, накладывает на себя руки.

Я оглянулся: «О молодость! Молодость! А?» Никакого эффекта. Искры жалостливости были бенгальскими, и фитиль патетики не возгорался. Окончательно осознав себя стариком, я чувствовал, мыслил и поступал типично по-стариковски: мерно, трезво, расчетливо.

Да, молодость отлетела, – я мыслил. Но велика ли печаль? То есть, разве не этого – потихоньку от самого себя – ты ждал вожделенно все истекшие годы. Не так ли благовоспитанный джентльмен ждет пристойного повода для разрыва с капризной и требовательной содержанкой. О молодость, сколько с тобою мороки! Сколько энергии, времени, сил уходит впустую на удовлетворение твоих вздорных прихотей, на чаяния твои и мечтания. Совсем иное – добротная – габардиновая и байковая – на ватной подкладке и меховом ходу – старость. Все мелкое, суетное, в том числе нездоровые страсти, – по боку. Плоть ненавязчива. И чинно, солидно, с сознанием честно исполненного пути впадаешь в заслуженное и счастливое детство. Да, жизнь оказалась короче, нежели принято полагать. Не страшно. Подумаешь невидаль – жизнь. Да, заря потухает. В проеме временного провала сквозит другой. То провал моей уникальной миссии. Милки-уэй, петель захлестнувший Мулен де Сен Лу, за убытием прежних хозяев шато в лучший мир, наверное, никуда не ведет. Вот и ладно. Осталось купить обратный билет – проститься – вернуться в Эмск – снять с себя шпионские полномочия – выйти в отставку – отречься от всякой самости и поселиться в каком-нибудь отдаленном, заштатном углу Кремля, в нетопленной деревенской хижине с земляными полами, соломенной крышей и с бычьими пузырями в окнах. И там, молясь и влача безупречное одиночество, составляя определитель кремлевских целебных трав и прядя кудель, все пытаться припомнить: в какие провалы кануло отпущенное тебе безвременье и когда преуспел ты столь необратимо потратиться, пообноситься собой. В остроге? В монастыре ли? Пересекая ли рубежи?

В предвкушении этой задумчивой перспективы я вынул блокнот и занес в него вариант эпиграфа для будущих «Воспоминаний о старости», озаглавленных в некоторых редакциях как «Свеча на ветру». (Не путать с одноименным произведением Максвелла Андерсона (1888–1959))

Гложет старость постепенно

Тело брэнное мое,

А душа таки нетленна,

Хоть не видно нам ее.

Вы, Биограф, конечно и неоднократно штудировали упомянутый труд и, надеюсь, усвоили, что там к чему, не хуже меня. Позвольте же в общих чертах освежить в Вашей памяти основные его положения и постулаты, пройти бархоткой по сюжетной канве, дать выдержки.

«Мысль о новаторстве – первая, что приходит на ум, перечитывая настоящие воспоминания, – писал я в анонимном предисловии. – Все дышит в них дерзостным обновлением. Взять композицию. Пусть, выстраивая ее, Палисандр Александрович опирается на опыт предшественников – неистовых модернистов древности: пусть! Зато, опершись, отправляется дальше своим путем. Так, если у Джойса в „Уллисе“ все действие

укладывается в двадцать четыре часа, то в нашем случае речь идет о минутах, в течение коих длится инцестуальный коитус. Им книга начинается, вместе с ним и заканчивается. Совершая его, автор успевает не только утешить соблазвившую его престарелую родственницу, но и проанализировать причинно-следственную цепочку приведших к нему событий историко-политического и бытового характера. По сути этот ярчайший во всей словесности – шире – во всей мировой культуре – акт человеческой близости представляет собою не что иное, как грубую свежевывитканную основу – холстину для изображения на ней многокрасочной панорамы той грандиозной эпохи, что так чутко совпала со старостью Командора, – эпохи сплошных страстей и коллизий. Террор и войны. Митинги и совещания. Похищения и совращения. Все сколько-нибудь забавное и замечательное имеет здесь свое место. Искусный словесный ткач, П. Прелестный всегда сочетает общественное и личное таким образом, что первое выгодно дополняет и оттеняет второе. И *vice versa*. События, люди, предметы всегда находят себе у П. параллель или пару и так или иначе переплетаются и вплетаются в ткань панно, образуя узоры симметрии, аналогии и метафоры. Рождение образа проще всего проследить на конкретном примере.

Снискав себе – после некоторых препирательств – расположение одряхлой королевы цыган Чавелы Четвертой, жуирующей свои каникулы в Пизе (Италия), Палисандр, удовлетворенно покрывивая в накладные усы, спускается поутру в вестибюль отеля за почтой. О том, что именно происходило минувшей ночью в их сдвоенном номере, или, по выражению портъе, «тандеме», тактично умалчивается, и читатель волен догадываться об этом в меру своей испорченности. До тех, во всяком случае, пор, пока Палисандр не увидит на фото в местной газете обломки упавшей в конце концов башни и не отметит с азартом завязтого кегельмана: «Ага, тоже пала!»» (Конец цитаты.)

Затем возникает вопрос о жанре. Ведь вопреки названию «Воспоминанья о старости» – не мемуары. Вернее, не совсем мемуары. Т. е. и мемуары, и нет. Они – мемуары лишь в той только мере, в какой мемуарами можно назвать знаменитые пушкинские «Воспоминания в Царском Селе». Размышляя в авторских комментариях к первой главе, имеет ли право мемуарист на вымысел, а читатель – на фабулу и сюжет. Палисандр обнаруживает, что и тот и другой – имеют. И признается, что книга его – документальный роман в отлично пригнанной форме воспоминаний, а также просит во всех последующих изданиях сохранять специально подобранный им муаровый переплет, приличествующий, по его мнению, всем мемуарам.

Приятно добавить, что многотомье «Воспоминаний» не столько роман, сколько целый не то чтобы цикл, а каскад романов, плавно переходящих друг в друга естественными уступами: не успевает один закончиться, а следующий уж начался. Произведение выстроено по принципу пресловутой матрешки: роман в романе, роман в романе, and so on.

«Расписная матрешка, – набрасывает Командор в дневнике, – воплотила в себе убежденность нашего мужика в неистребимости рода людского». И ниже; «Матрешка – это оптимистическая трагедия об инкарнации, карме, детотворении. Это, наконец, очаровательная человеческая комедия, выполненная из обыкновенной российской липы».

Если закрыть глаза на пролог, где предельно выпукло – с тщательными описаниями обстоятельств места, времени и образа преступного действия – рисуется картина кровосмешения, то книга открывается ретроспективным анализом завтрака, съеденного главным героем на следующий по приезде в Мулен де Сен Лу полдень. Кроме козьего молока, мне в ванную комнату привезли изумительные цуккини, броттоли, рататуи. Прекрасны были и длинные зеленые феттучини, и буйобес; а требуха молодого кукагви – неподражаема. Наоборот, выйдя после на галерею в одном из довольно безвкусных хозяйских халатов, я сталкиваюсь прямо в дверях с курьером нашего консула, и курьер передает мне пакет, таящий в себе пренеприятнейшее известие.

Преломляю сургуч – распечатываю – читаю – пытаюсь вчитаться – перечитать – бесполезно: рука занемела, дрожит, мысли – врозь, и ясно только одно: совершилось чудовищное недоразумение века. И – дата. И какая-то неразборчивая, но буйная подпись.

Во гневе я принял вестника за цыпленка, начал его когтить и, наверное, придушил бы, однако на визг ничтожества сбежалась презренная челядь и с боем вырвала у меня добычу. Курьера свели к тарантасу, и вопли несчастного унеслись вместе с ним в направлении Шманпа. Мигом я отправляюсь следом. Со мною в виде нотариально заверенного – Модерати.

Мы въехали на возвышенность.

Герцогство, обозреваемое с нее целиком, казалось довольно провинциальным. Хотя праздный разврат, которому предавались туземцы, был чисто столичный. Сладострастные крики, восхищенные стоны раздавались в купальнях и в термах, на лаун-теннисных кортах и на холмистых лугах, где, клацая сотысячными челюстями, лупили по разноцветным шарикам прожигатели состояний и пенсий. А в коллизеях, точнее – на стадионах, творился гвалт как бы массовых оргий. Там бегуны отстаивали цвета человечества в заочных ристаниях среди обитателей суши. Преследуемое слоновством, человечество держалось вплотную за домашним кошачеством, т. е. почти настигало его, претендуя занять почетное двадцать четвертое место. А несколько впереди этой тройки стремилась сильная группа шакалов, жирафов, кроликов, дышавшая прямо в затылок гончим, койотам, гиенам, монгольским ослам и лисицам серым. Основную лидирующую когорту составили львы, газели, олени, алжирские антилопы и иже с ними. Однако гепарды с их ежечасной поспешностью в сто коломенских верст опережали всех. А замыкали забег домашние свиньи, индейки, ящерицы, пауки, тараканы, лягушки, гусеницы и признанный аутсайдер улитка садовая *liguus fasciatus*, ночующая под застрехой почтовой станции, где можно сменить лошадей, разузнать, нет ли писем, спросить самовар, посудачить с всклокоченным телеграфистом и тоже заночевать в отведенной Вам комнате. Ваш денщик Одеялов затеплит свечу, и тень, отбрасываемая кроватью под балдахином куда-нибудь на стену, напомнит философического Тянитолкая, не участвующего ни в каких состязаниях. Доброй ночи. А утром – утром Вам предстоит проснуться. Проснуться со всей основательностью. Во всех отношениях. Проснуться, как верно подметил поэт, каждой веткой и птицей. Проснуться, чтоб осознать: я проснулся! Вы поняли меня, молодой сейчас человек? Я! То есть не чорт его знает кто, не какой-нибудь незадачливый некто, а именно я. Я – в своем собственном богоподобном обличе, уме и пижаме. О, как это неувядаемо. Благодатное утро! Оно разбудит Вас колокольчиком пролетайки – подаст Вам завтрак в постель – умоет – оденет – причешет – вселит упругую крепость в члены – пристально брызнет солнцем. И – вот Вы уже поскакали, смотрите!

«Мерзавцы! – кричал я, ворвавшись в русскую миссию.– Персов на вас не хватает, жулье проклятое! Меня, меня, которого уважает и любит весь Кремль,– отлучить от присущего государства! Позор узурпаторам!»

На что восседавшие за прилавком плешивые господа, которых я постеснялся б назвать соотечественниками, заявляли, что, дескать, они ни при чем, поскольку полученный мною указ издан не ими, а метрополией и подписан самим Андроповым, что на днях приступил к обязанностям Местоблюстителя.

«А дядя Леня? Его отстранили?»

«Преставился».

«О!» – сердце защемило, как дверь. Несчастливая Виктория Пиотровна! Верно, не выдержала, дуреха, похвасталась мужу оказанным мною вниманьем – а он и расстроился, не перенес. Милый друг мой, товарищ и покровитель моих охотничьих походов, прощай и прости. Быть может, в твоей кончине отчасти повинен и я. Потому что мы все виноваты, что не уберегли тебя, хрупкого и дорогого. И знай: мы никогда не нашли бы себе покою и навсегда истерзались, если бы всякий из нас не учел завета, данного доблестным новодевичьим стражем Берды: «Смерти нет!»

«Разрешите бумаги, – сказал Модерати. – Мы нынче же отправим обжалование».

«Обжалованию, – издевательски ослабились из-за прилавка, – не подлежит».

Ограбленно, опустошенно, не зная, что предпринять, и сразу как-то ссутулившись и осев, я вышел.

Вышел и адвокат.

Мы вышли.

За нами захлопнулось.

А перед нами лежала неотвратимая данность мира, конкретизированная в ощущениях улицы.

«На вашем месте, – посоветовал Модерати, – я бы немедленно позвонил в Кремль Андропову и попытался бы выяснить отношения».

«Я не умею звонить», – молвил я, облачая в перчатки свои виноградные гроздья.

«Так я и думал, – сочувственно кивнул адвокат. – А писать, надеюсь, умеете?»

«Да, – отвечал я скромно. – Только письма теперь не доходят».

Шманц оказался унылой канцелярской дырой с всюду, где только не лень, понатыканными колокольнями, то и знай вызванивающими кливг-кланг, что в переводе означает не более чем дин-дон. Изю всех обойденных нами купеческих лавок запомнилась лишь одна: «Мареографы, дождемеры, курвиметры». Там состоялась покупка комнатного термометра. По словам нотариуса, супруга его любила повышенную температуру спален, и Петр Федорович замыслил презентовать ей прибор на День Независимости.

Из заведений же зланных достаточно будет назвать пивную «Тринадцать Апостолов». Сей глубокий и глубокоуважаемый подвал, где некогда и нещадно пытали еретиков, а ныне – судя по вывеске – еретики заправляли сами, поглотил нас на несколько утешительных пинт бочкового напитка Молсона, о котором я не премину упомянуть своеместно.

Платил Модерати. Полуразрушенный граммофон бредил Штраусами, и под них за двенадцатью столиками утоляли свои печали какие-то деклассированные элементы. Наш был тринадцатым.

«Обратите внимание! – вскричал я заверенному через какой-нибудь час. (Эль, приправленный шнапсом, действует без задержки.) – Вселенная по Эйнштейну погибает, будто труба у этого граммофона. Или как шейка матки. Спирально. И если довериться Фрейду, то следует кануть в нее обратно – концептуально завихриться в ней – затеряться в загибах ее относительности – и тогда – тогда».

«Не надо, – сказал Модерати. – Не доверяйтесь».

«Вы – настоящий товарищ», – промолвил я, целуя ему запястье. В сердцевине Европы при догорающих и никак не могущих догореть огарках и фитилях я осознавал себя пронзительно одиноким, отверженным странником. Хотелось прижаться к кому бы то ни было всем собою, хотелось забыться в исповеди, хотелось тепла. А меж тем – сквозило. И с неподдельною горечью открылся ему, вчера еще незнакомому: «Я – свеча на ветру, дорогой Петр Федорович, свеча на ветру».

«А детей, – отвечал он, – детей у вас нет?»

«Какие там дети, дружище. Мне кажется, я еще сам ребенок. Или уже. Иль – двояко. Не знаю. Нет, дети – не выход. Скорее наоборот. Родишь, не дай Бог, какого-нибудь прохвоста, поставишь его, негодяя, на ноги, всю душу в него, недоумка, вложишь, а он тебе и стакана чаю на смертный одр не подаст. Стакана чаю, Петр Федорович, стакана».

«А вот вы сказали – выход, – спросил Модерати. – А – из чего?»

«Из чего бы то ни было. Из того, из чего его все почему-то ищут. Изначально и без конца. Разве вы не заметили? Из трубы, Петр Федорович, из тотальной, всемирной трубы». И, растроган его участливостью и тряской обратной дорогой, я поведал попутчику о своем безвозвратном кремлевском прошлом – о счастье, которое видится таковым лишь после, по исчерпываенью своем. И еще говорил я заверенному о превратностях первых буйств, о трудностях монастырского и тюремного быта – ну и вообще: обо всем, что было

значительно, значимо и имело цену в той жизни. Поддавшись модератовскому магнетизму, не смог умолчать и о теневых сторонах биографии.

«Увы, я приехал сюда не только в качестве потенциального внука, но и как матерый шпион, – признается Дальберг. – Однако теперь моя карта бита, с былым покончено, я раскаиваюсь и прошу у вас политического убежища».

Тут по ходу повествования и поездки, используя в качестве фона подернутые первым снегом нивы, крупным планом дается портрет моего попутчика. Сдержанность – мать выразительности. И хотя мне не жаль ни штрихов, ни деталей, я отпускаю их дозами гомеопата. К примеру, описывая края манжет, высывающиеся у Модерати из-под обшлагов пальто, я ни разу не употребляю слова манишка: ведь мне оно глубоко отвратительно. И все-таки, несмотря на такое обходительное умалчивание, манишка заверенного очевидна слепому. С аналогичной скупостью рисуется и судьба нотариуса.

Сын бесправных российских посланников италийского происхождения с нансеновскими паспортами, Петр Федорович с детства тянулся к своду законов. Рос – мыслил – мечтал – учился – и вот женат. (И на ком! О, несчастный. Впрочем, это его личное дело.) Полнокровный образ его в дальнейшем послужит мне прототипом Папье Шерше, героя правдивой повести о лионских ткачах и брюссельских суфлерах. Он шагнет на ее страницы из самой толщи мелкобуржуазной толпы – из прокуренности юридических заседаний – прокрустовости следственных кабинетов – из залов судов. Шагнет, не успев ни стяжать себе славы, ни стянуть канцелярские нарукавники, из-под которых – и дальше опять про манжеты. Мне нравится эта книга. А Вам?

Что же далее? По возвращении в замок садимся мы с адвокатом к столу, приступаем, и я говорю: «Ну-с, а где сегодня у нас Адам Милорадович?»

«У себя», – говорит Модерати.

«Отчего же его не привозят? Он, верно, тоже не возражал бы перекусить».

«А светлейшего почти никогда не привозят. Он кушает у себя».

И действительно: до самого моего убытия из Мулен де Сен Лу я так его и не видел. Да и после убытия тоже. Иначе сказать, я не видел его более никогда. Не странно ль: сойтись с человеком лишь для того, чтобы уже никогда не встретиться. Хотя подумаешь – важность. Не встретились и не встретились. Разминулись. Обычная вещь. Но бывает, вдумаешься на досуге – и задохнешься. Дышать станет нечем. Нет, вовсе даже не странно. Страшно – вот точное слово. Ибо вообразите, какая кромешность, какой дичайший эдгаровский невермор – без просветов, будто в чернильном мешке каракатицы. Она-то в сопровождении трюфелей и сморчков и следовала третьим блюдом. Считаю своим приятным бытописательским долгом уведомить вас, что в повестке дня наблюдалась также индейка жареная.

«Голубчик, – сказал Модерати, проваливаясь после десерта в трясину дивана. – Позвольте мне разуметь вас в том смысле, что ваш Андропов – порядочный интриган, пусть вы этого прямо и не высказывали». И он изложил мне свою гипотезу, основанную на моей исповеди.

Получалось, что Юрий Владимирович, якобы обуреваемый ницшеанскою волей к власти, годами стремился к ней. Не брезгуя методами политической эквилибристики, планомерно он устранял, мол, других претендентов на место Местоблюстителя. Из них наиболее вероятным был я, внучатый племянник своего дедоватого дяди, всеобщий любимец и баловень, популярнейший гражданин Кремля. Мое влияние на умы и сердца было неограниченным. Несмотря на свои необщительность, отчужденность или благодаря им, для многих я был своего рода гуру, духовным вождем и наставником. Сам того не осознавая, я подвизался негласным правительственным советником по общим вопросам, и если бы захотел, сделал бы самую головокружительную карьеру. Андропов знал: по известным мистическим соображениям меня нельзя устранить привычным ему манером, а именно – умертвить. Ведь откровение Нострадамуса Грозному могло оказаться отнюдь не легендой. А если так – если за аннигиляцией последнего из рода Дальбергия последует

разрушение Кремля в прямом, да, видимо, и в переносном смысле, то настанет безвластие и бороться окажется не за что. Тогда смысл всей его, андроповской, жизни будет утрачен. Он, Юрий Владимирович, будет никем, даже не генерал-генералом.

Подвигнув меня покуситься на Брежнева, Юрий намеревался убить двух зайцев: один устранил другого, а оставшегося устранил правосудие. Казнить не казнит, но изолировать – изолирует. К тому же церковь предаст террориста анафеме, а общественное мнение поставит на нем крест. На случай провала покушения заготавливается запасной вариант – удаление меня из страны под видом переселения в Бельведер к покойной и тем самым фиктивной бабушке. Чтобы это переселение выглядело еще благовидней в глазах соратников, сочиняется миф о порученной мне секретной миссии. Покушение провалилось. Я арестован. Однако под давлением либеральных лобби меня освобождают, и Юрий использует заготовленный вариант. Я уезжаю. Тогда, оставшись единственным кандидатом на высший пост, Андропов приходит к власти, так или иначе устраняет моих сторонников и собственноручно – росчерком все того же пера – отлучает меня от России и государства.

«И еще не известно,– сказал адвокат,– своею ли смертью умер его предшественник господин Брежнев. Историкам предстоит разобраться».

«Уж больно у вас все гладко выходит,– ответил я.– Слишком плавно. Я, видите ли, знаю Юрия Владимировича как человека кристально честного, преданного всяческим идеалам. По-моему, уж кто-кто, а Андропов никак не способен на подлые фортели. Я скорее готов допустить, что он сам стал игрушкой в чьих-то нечистоплотных, недобрых руках и его принудили подмахнуть документ об моем отлучении – а? Может быть, подпись эта как раз и была той ценою, которую ему Пришлось заплатить за новое место службы – кто знает, Петр Федорович, кто знает, в Кремле как в Кремле – все сплетничают, грызутся. По правде сказать, Я никогда не вмешивался во все их дворцовые свары, Викогда не интересовался, что там у них и к чему. Я, понимаете ли, фаталист. По мне, как есть – так В будет. И власть меня – ну ни капельки не соблазняет. Ну, если предложат вакансию подходящую, может, И соглашусь, послужу немного. А так, чтоб бороться там, хлопотать, по трибунам паясничать – то от подобного унижения попросил бы уволить. Низко все это, на мой взгляд, и христианина ничуть не достойно. И потом, посмотрите: похож ли я на политика? Упаси Господь. Я – простите за прямоту – художник, то есть идеалист и эстет. Я склоняюсь более идеализировать, нежели очернять, и мне как-то даже обидно, что вы господина Андропова в хмуром свете себе рисуете. Вы уж, пожалуйста, не мизантропствуйте в его адрес. Фигура он, может, и сложная, противоречивая, на журавля отчасти похож, да в основе-то личность радужная. Просвещен, не без юмора, где-то и компанейск. А потом – он мне чуть ли не родственник в некотором отношении, председатель Совета Опекунов».

«Был»,– сказал Модерати. Обычная послеобеденная облатка, что он положил себе под язык, приятно горчила.

«Как знать, Петр Федорович. Весьма вероятно, что все скоро выяснится, и окажется, что никакого отлучения не произошло. Недоразумение, скажут, ошибка. Так что давайте-ка носа на квинту не вешать, давайте-ка уповать».

«Отлично, давайте. Только как вы себе или, положим, мне объясните фокус с „Албанским Танго“?»

«А вот как,– нашелся я.– Очень просто. Служил у нас в крепости некий Оле Брикабраков. Курьер. Редкий, следует доложить, путаник и шутник. Он-то и перепутал все, надо думать. А может, и пошутил, напроказил. Достал, вообразите себе, разворот с объявлениями из старого выпуска – где достал, не играет роли – достал и все – вероятно, в Румянцевских фондах – там, знаете ли, занимается ученая профессура, мозг нации, накурено – не продохнешь – это сразу же за Манежем – сразу же – ну, достал, Петр Федорович, заполучил – и вложил его, стало быть, в свежий номер. А после приносит, подметывает. Прежде – Юрию, после – мне».

«Ловко,– рек Модерати,– ловко».

«Не говорите, такой, ей-богу, шутник был – до слез иногда расхохочет, до коллик. Беда с ним прямо. Ах, порхал все, порхал. Одно слово – бельгиец, латинская его кость. Думал, видите, нас потешить, а вышло недоразумение: и Андропова понапрасну обеспокоил, и меня в послание укатал».

Модерати не возражал мне. Он достал откуда-то ладный, с притертою пробкой флакон с будоражащим нюхательным порошком, откупорил и понюхал.

«Такие, в принципе, пироги, Петр Федорович,– объявил я ему.– А ежели вас что-то еще волнует, особенно в рассуждении переговоров,– дескать, как это так случилось, что Юрий имел переговоры насчет увнучения с лицами, которых, можно сказать, не случилось в живых, то спешу вас предположительно убедить, что переговоры велись не им, а какими-то неблагонадежными его офицерами, заинтересованными в удалении меня из державы. Вернее, переговоров и не было. Была их чистейшая видимость. Были инсинуации, фикции, махинации. На протяжении лет нас снабжали поддельными письмами, ложными сведениями и т. п., и т. д., т. е. не только я, но и сам Юрий стал жертвой какой-то Нечисти, каких-то туманных сил, свивших себе гнездо в сердце Родины. Вот ведь тоже бедняга».

Понюхав, Модерати закупорил и убрал. «Блажен, кто верует. Палисандр Александрович. Правда, я обязан заметить, что теперешняя ситуация ваша напоминает мне сотни аналогичных, запечатленных в летописях всех времен и народов». И Петр Федорович отрекомендовал меня к некоторым томам.

Нахохлясь, проследовал в библиотеку и, взгромоздись на насест стремянки, листаю рекомендованное. И что же? В такие-то и такие-то веки такие-то и такие-то сироты знатного происхождения, служившие там и сям при дворах в разных качествах и количествах, были направлены за рубеж на предмет увнучения или усыновления и по отъезде из милых отчизн отлучены от них навсегда. В изгнание влачили элегантную бедность.

Тихий, вкрадчивый ужас исторического параллелизма покрыл мою кожу мурашками. Боже сил! Неужели я более никогда не увижу родную твердыню, не поприсутствую на заседаниях ее дум, комитетов, советов, не полюбуюсь со стен ее и из башен на достославный Эмск, не услышу дыханья ее камней, тикания ее восхитительных ходиков, боя курантов.

Тем временем посланный за моим багажом Сибелий вернулся буквально ни с чем. Оказалось, что разыгравшаяся минувшей ночью гроза не прошла напрасно. Одна из многочисленных молний угодила в здание станции и целиком испепелила багажное отделение вместе со всеми его чемоданами.

«А парикмахерская как поживает?» – спросил я Сибелия.

«Парикмахерская открыта,– мрачно сказал управляющий.– Я побрился».

«Вот и чудесно,– порадовался я чужому успеху.– Не зря, знать, пропутешествовали, оправдали, как говорится, поездку».

С. удалился, а П.– разрыдался.

Стоя в фонарного типа алькове с меланхолическим видом на вянущий сад, я видел, как управляющий направляется по аллее к озеру, намереваясь кормить лебедей. Я видел, как черные птицы торжественно плыли ему навстречу, окуная свои розоватые клювы в черное зеркало вод, по которому ветер рассеивал пьяные джонки листьев. Я видел все это и мыслил сквозь слезы о том, что предчувствие не обмануло меня: бритый череп макроцефала действительно не сулил ничего хорошего.

Очередной раздел «Свечи на ветру», которая, если Вы обратили внимание, состоит из тысячи двухсот тридцати четырех разделов, передает содержание эпистолярного диалога, имевшего место в замке Мулен де Сен Лу вечером следующего дня.

П. Д. – П. М.

«Сумерки. Библиотека. Число.

Милостивый государь Петр Федорович, у меня предложение. Нечего нам с Вами буками по углам сидеть – давайте-ка переписываться. Давеча по дороге из города я просил у Вас политического убежища. Нынче в свете случившегося на воздушном вокзале пожара, пожравшего все мои вещи и документы за вычетом, разве, походной ванны, посмертной маски Распутина и квитанции об уплате таможенной на нее пошлины, нужда моя в таком убежище представляется крайней, и я призываю Вас мне его немедленно предоставить. Ваш акт доброй воли будет расценен как проявление истинного человеколюбия с большой буквы. Кроме того, укажите, пожалуйста, старенькой горничной, которая передаст Вам записку, что у ней развязалась подвязка и сполз чулок. Я указал бы ей сам, да боюсь, что слова мои истолкованы будут превратно.

Прощайте. Пишите почаще. Ваш П».

П. М. – П. Д.

Без обращения и помет.

«Если помните, я сказывал третьего дня, что в доме у нас Вам удобно не будет. Сейчас говорю то же самое. В пятницу мы ожидаем большой заезд постояльцев, и присутствие здесь посторонних было бы нежелательно».

Без подписи.

П. Д. – П. М.

«Вечер. Гостиная. При свечах.

Милый Петр Федорович, мое почтение! С каких таких пор я причислен к лику посторонних? Я, который мог стать родителем Вашей супруги и лишь в силу временного провала уступил эту должность какому-то чуженину, величающему себя светлейшим князем. Вашему корреспонденту прискорбно. Судьба сыграла с ним не по правилам. В поисках семейного очага он оставил Родину и потерял ее, не обретя взамен ничего адекватного. И думается. Вы не смеете класть в его руку, протянутую за кусочком тепла, холодный камень. Порядочно ли отвергать старика лишь на том сомнительном основании, что прибывают какие-то постояльцы. В традициях ли сие готического гостеприимства, по-рыцарски ли, по-адвокатски ль? Никоим образом. Взойдите на галерею – озритесь. В окрестностях замка Мулен де Сен Лу ветер, используя выражение Лю-Да-Бая, настойчиво сводит листья с ума. Не сегодня-завтра приступит к своим обязанностям жестокий сезон. Обретаясь в преддверии нового оледенения, не пора ли нам так или иначе навести мосты и поладить. Ведь есть же, наверное, в данной стране специальные уложения, позволяющие официально выяснить отношения нашего с Вами типа, с тем чтобы клятвенно в них расписаться. И Вы, живущий от буквы закона, те уложения знаете. О, мы не говорим сейчас об увнучении! Кто об этом вообще сейчас говорит; это нынче не в моде. Да и Бог весть, кому бы я мог быть сегодня полезен в качестве внука. Мне, верно, и в сыновья поздновато – а? Я догадываюсь, догадываюсь. Я сознаю, пусть и не слишком отчетливо. Так что никто не вправе заподозрить меня в состоянии великовозрастного маразма. Я чую грань невозможного, как непрозревший щенок-интуит, что положен на край обрыва и все ползет, Петр Федорович, ползет прочь от края. Прочь! – к тесным патриархальным узам любого наименования. Прочь! – молча, но бодро, подобно брейгелевским слепцам. Прочь! – в надежде, что кто-нибудь, повстречав тебя на бесславном пути, приютит, даст еды и собачью подстилку, чтоб, лежа на ней у огня, ты был бы весьма и весьма признателен. Не теряя, впрочем, достоинства, не теряя – зачем? И перефразируя назаретского плотника, разрешите вскричать: "Не молчу Вам – увнучьте, но: просто – учеловечьте – учеловечьте, молчу я Вам!»

Нотабена. Будьте построже с прислугой. Тип, что доставит Вам это письмо, – дворецкий? – тайком попивает ликеры из бара в столовой.

За сим остаюсь. Благодарный заранее Палисандр».

П. М. – П. Д.

Без числа, без привета.

«Настоящим решаюсь поставить Вас перед рядом немаловажных фактов.

Первое. Шато Мулен де Сен Лу, в коем я вынужден Вас принимать, представляет собою частный приют для наших соотечественников преклонного возраста и умственной отклоненности.

Второе. Лица, которых Вы полагаете нашей прислугой, в том числе идиот Сибелий, возомнивший себя управляющим замком и братом Трухильды, и сама Трухильда, считающая себя его сестрою и нашей кухаркой, – суть не прислуга, а насельники дома.

Третье. Большая часть насельников в данный момент пребывает на отдыхе в Лонжюмо (Швейцария) и на днях возвращается.

Четвертое. В тех же числах из Эпсوما (Великобритания) возвращается моя жена Мажорет. Она – попечительница заведения и держатель его основных акций.

Пятое. Никаких законов о родственном «учеловечивании» в Бельведере не существует. Правда, Вы можете написать прошение на имя моей жены с просьбой «учеловечить» Вас в качестве богадела.

Шестое. Денег на проживание в нашем доме у Вас, вероятно, нет. Но я мог бы похлопотать, испросить для Вас государственный пенсион по недееспособности, хотя по возрасту Вы еще не вполне подходите.

Седьмое. Однако, зная Вас несколько лучше, чем Вы, быть может, подозреваете, и зная весьма своеобразные нравы, царящие среди здешней публики, я еще раз подчеркиваю: удобно у нас Вам не будет.

Восьмое. По возвращении Мажорет я снимаю с себя обязанности исполняющего обязанности попечителя и всяческую ответственность за Ваше благополучие.

Петр».

П. Д. – П. М.

«Милый Петр, любезный друг, *buona sera*. Стать насельником богадельни, руководимой супругой достойнейшего джентльмена, каким Вы с таким совершенством являетесь, – о подобной чести дерзаю только мечтать. Тем не менее заявление прилагаю. Also спешу заверить, что бритый череп управляющего макроцефала еще не достаточно худая примета, чтобы из-за нее лишать себя упомянутой выше чести и удовольствия влиться в вашу старческую семью, к некоторым членам которой я успел уже искренне привязаться.

Вечно Ваш, Палисандр.

Дано в поздних сумерках ванной комнаты третьего этажа».

В следующем разделе «Воспоминаний о старости», или «Свечи на ветру», непредвзято описаны первые и – как выяснится вскоре – последние радости П. в Мулен де Сен Лу.

На фоне буколки бабьего лета он предается прогулкам по гулкому бору, знакомствам с постепенно съезжающимися после каникул обитателями поместья, играет с ними в серсо и в булль и переживает два-три увлечения. В том числе миловидной старушкой Л., певшей в местном церковном хоре. Как видим, и за границей П. остался верен своему интересу к духовной музыке.

«У ней был самый дивный колоратурный фальцет из всех, что мне доводилось слышать. За исключением, может быть, моего собственного, – вздыхает автор. – Л. пела так, что внутри у меня все обрывалось. Мы сблизились. У нас начались вечерние спевки. Дуэт, казалось, вот-вот состоится, и, вдохновлен, я то нежно пожму ей руку, то выстрою планы на общее будущее, как вдруг выясняется, что она обручена с другим из насельников и в субботу у них церемония».

Палисандр не верит в истинность ее чувств к избраннику и считает, что этот брак меркантилен, о чем открыто высказывается в ей посвященном романсе. (На мотив Белы Бартока.)

Твой голос, упругий, как мячик,

Тот мячик, который упруг,

Звучал совершенно иначе,

Чем голос твоих же подруг.

Когда ты на клиросе пела,

На клиросе пела когда,  
Мне, в сущности, не было дела  
До целого мира тогда.  
Листва оголтелая, сыпья!  
Я жить и без листьев могу.  
Но как об расчет я расшибся  
Всем буйством моим – на бегу!  
А голос, упругий, как мячик,  
Тот мячик, который упруг,  
Который пружинит и скачет,–  
Пружинит и скачет вокруг!

«Я не пошел на венчание. К дьяволу! Келейно изъязв из бара в столовой бутылъ мартеля, величественно удаляюсь на водоем. Челн был мал, утл. Но, героически, я выгреб на середину, позволил себе ряд бодрящих глотков и по мере того, как джонка теряла всякое управление, делался все бодрее. Так что когда в соборе Нотр-Дам-де-ля-Неж грянули колокола Гименя, не пуститься в чечетку было бы непростительным упущением. И я поступил так. Судно весело накренилось, и пляшущий навигатор с плеском вывалился в Зазеркалье. О равновесие, он потерял тебя!»

В рассужденъе, принять ли с расстройства каких-нибудь порошков, дать ли обет безбрачия. Палисандр поделился сомнениями с поместным массовиком-затейником; тот сразу все понял и хитроумно отвлек его от терзаний.

«Мы стояли с ним на веранде флигеля. „Взойдем на террасу“,– сказал он мне. Мы проследовали. Вид – распахнулся. „Попробуем игротерапию,– говорил затейник.– Минут через десять солнце начнет садиться, и кто первый воскликнет, когда оно краем коснется воды, получит за ужином обе порции сладкого: свою и партнера“. Направив луч мыслительного прожектора в нужном ракурсе, я сообразил, что игра стоит свеч. Мы сели. Гулявшие неподалеку насельники, возбужденные тем, что мы сделались неподвижны и смотрим куда-то вдаль, тоже поднялись на террасу. Затейник вкратце изложил им правила развлечения. Новички разбились на пары, придвинули стулья к перилам, расселись. После высокогорных вакаций дамы выглядели посвежевшими; на их загорелые и оттененные белыми форменными панамами лица было не наглядеться. Однако Я твердо решил, что не хочу отвлекаться, чего бы мне это ни стоило. Остальные тоже сосредоточились. Было ясно, что желающих остаться без тирольского штрудлâ нету, а получить лишний ломтик хотел бы каждый. Азарт электризовал атмосферу. Психологизм медитации усугублялся тем, что все мы забыли спросить у затейника, что именно нужно воскликнуть, а сейчас, в разгаре игры, вдаваться в расспросы казалось почти святотатственно. И каждый в немом одиночестве приискивал тот единственно верный звук, что адекватно выразил бы восторг Психеи перед великим таинством – иллюзией сочетания вод и огня. До касания оставалось совсем немного, когда новобрачная Л., оказавшаяся среди участниц, не выдержала.

«Что кричать? – закричала она.– Что кричать? Отвечайте! Довольно козней и тайн, шантажа и интриг! Mesdames, товарищи! Нами манипулируют! Нас используют в интересах определенных сил! На баррикады!»

С ней случилась истерика, и сестра милосердия отвела ее в процедурную. В пути она пела «Интернационал» и держала над головою составленное из пальцев обеих рук удлиненное О, символ фетишиствующих феминисток.

«Несчастливая женщина»,– проронил вполголоса массовик.

И снова сделалось тихо. А когда светило коснулось – коснулось! – поверхности водоема, мы все и почти одновременно закричали одно и то же: «Ом! Ом! Ом!» – закричали мы все, хотя у одних это древнее заклинание вырвалось клекотом, у других – ревом, у третьих – мыком иль блянием. Так под действием медитации высвободились дремавшие в нас таланты, спонтанно проявились инкарнационные склонности, называемые нередко атавистическими. Я лично заржал. Заржала и В., бывшая депутат бельведерской Думы от

консерваторов, вся из себя чрезвычайно поджарая, чопорная и неприступная. Но природа взяла свое. После ужина (он увенчался гала-распределением сладких блюд среди победителей, из которых я выглядел самым невозмутимым, ибо все прочие откровенно растрогались) мы с В., не сговариваясь, обрели друг друга в глуши конюшни в объятьях друг друга же.

Наши нервные ноздри не находили покою: дурман помещения возбуждал безмерно, и целомудренность уступила в нас место разнузданности в каком-то невероятно сквозном – пожарном – порядке. Взаимозаменяемость этих вроде бы непохожих абстракций оказалась полной. И тут выяснилось, что обладание нелюбимой особой бывает особенно благотворно в том отношении, что помогает забыть о любимой. Лишь поначалу, когда мы с экс-депутаткой скрипично замирали в нюансах или давали сбой, образ Л. учинял в составителе строк душевную смуту, и снова я словно бы слышал ее упругий, опозтизированный мною, голос. Но затем рутина соития увлекла меня целиком. Сантименты себя совершенно изжили, и после часов и часов интенсивного полового контакта наступила целительная пустота сознания», – удовлетворенно констатирует Палисандр. И продолжает: «На рассвете ко мне постучали. Я резво переоделся в сухое и вышел из ванной комнаты в коридор, где меня приветствовал массовик. Сей уведомил, что восток нынче чист, воздух свеж и прозрачен, и что если мне будет угодно, то на восходе солнца он мог бы взять у меня реванш за поражение на закате. „Ну, что ж, – отвечал я ему, – ну что ж“. И, заспан, но в добром расположении духа, заторопился с ним вместе туда, где маячили очертания флигеля.

В безобразно нагих платанах ныл ветер. Пал иней. Поверхность земной коры заскорузла и напоминала черствую корку хлеба, посыпанную крупной солью – лакомство незваных гостей и нищих. И все-таки верилось в новый успех.

На веранде уже толпились. У многих в пальцах блестели спицы, другие менялись выкройками, третьи были филателисты, четвертые сочиняли считалки, пятые коллекционировали курьезные происшествия.

«Подыдемся на террасу», – сказал массовик.

Поднялись и расселись. И когда восходящее из зазеркалья светило кривым своим лезвием взрезало амальгаму и лебединую гладь стекла и пролилась ее кровь, – крик мой снова опередил вопль затейника на целую долю секунды, и первым, кто поздравил меня с победой в утреннем туре, был он. Он искренне радовался моему успеху, а мне искренне нравилось его спортивное благородство, меньше красиво проигрывать. Мы подружились.

«Де Сидорофф», – протянул он мне кисть, расплюснутую каким-то нелегким трудом.

«Откуда у вас сей прелестный партикул?»

«Не правда ль, забавен?»

«Скорее очарователен».

«Мне уступили по случаю в Гамбурге».

«Мелочная торговля?»

«Ja-ja, Люмпен-гассе, толкучка за ратушей».

«Верх изящества».

«Вы находите?»

«Чудный, чудный брелок. Не теряйте». «Вы льстите мне, право. Да, кстати, тут вот, на обороте, что-то начертано. Вы не прочли бы? А то я что-то не разбираю. Какие-то иероглифы, филигрань. Безобразный почерк».

«А, староваллийский. Здесь, видимо, выгравировано имя оригинала. Что? Брикабракофф? Какая встреча! Позвольте рекомендовать: вы приобрели себе де старинного моего приятеля, проданное некогда за долги на Птичьем рынке. Подумать только – достойнейший дворянин, а титул пошел с молотка за типичный бесценнок». И я поведал затейнику о нелегкой эмигрантской доле семьи Брикабракофф; на что де Сидорофф рассказал о своей».

Мастер расформированных в период военных действий механических мастерских, де Сидорофф, а в ту пору обыкновенный Сидоров Дмитрий Евграфович, командирован в Бангкок за наждачной бумагой. Погода благоприятствует. Тем не менее уже в Рангуне ему становится ясно, что все коммуникации прерваны. Сведя знакомство с антисоциальными элементами, Сидоров покупает в Калькутте турецкий паспорт, чтобы отплыть с ним в Бразилию, где встречается с молодым Одеяловым, дед которого, Одеялов-дед, обучал в свое время Сидорова начаткам механики. В тот период у них в цеху сотрудничал и отец Одеялова, Одеялов-отец. Работал также Петров, трудились другие рабочие. Все они довольно неплохо знали друг друга и часто, особенно летом, ухаживали за гулявшими мимо работницами. Де Сидорофф живописал те приятные годы сочными и скупыми мазками глаголов и междометий. Рассказанное запечатлелось. И когда денщик Одеялов поведаст мне впоследствии историю своего рождения, она не застанет меня врасплох, но прозвучит повторением пройденного. И, сидя в застиранном хитатаре с блокнотом в руках на фоне бредущих на запад пейзажей, в сотый раз осознаю, что вся эта публика – эти Сидоровы, одеяловы и петровы, – они-то и составляют тот самый народ, о счастье которого мы все так мучительно и неумело печемся, который жалеем за непригодность к жизни, к судьбе, за который боремся и скорбим на каторгах и в стихах, в повестях и в застенках. А между тем этот самый народ никогда не просил и не уполномочивал нас заниматься его делами, ибо дела его обстояли не так уж и худо. И на примере одной механической мастерской мы легко убеждаемся: жили да были, работали да ухаживали, рождались да умирали. А что еще нужно? Какого рожна? Счастья? Счастье слишком непрочное. Благополучья? Оно безнравственно. И поэтому лучшее, что возможно сделать для своего народа, – это оставить его в покое, не тормошить и не дергать, словно того прикорнувшего у Вас на плече усталого спутника – дескать, очнитесь, а то проедете остановку. Не надо, не будите народ Ваш – пусть выспится. И вообще – что мы тут все мудрствуем, дерзаем. Мир сей сотворен не нами, не нам его и менять.

«А вы как рассчитываете, Дмитрий Евграфович?» – спросил я затейника, изложив ему свои охранительные умозрения.

Тот был солидарен. Неладно скроен, да крепко сшит, он держался вызывающе прямо, носил жокейское кепи, имел ароматное кожаное портмоне, малахитовый портсигар и курил «Дым Отечества». Дым названных по роману Тургенева отечественных папирос был сладок, да зол и ел ему носоглотку и серые с поволокой глаза. Но даже и под таким благовидным предлогом де Сидорофф никогда б не заплакал по прошлому. «Черта-с-два», – говаривал он своей ностальгии. Родился же Дмитрий Евграфович под созвездием Девы, и сим сказано то остальное, что следовало бы добавить о нашем затейнике.

Мы фланировали лугами.

«Родной мой, – я взял его под руку. – Могу я вас вызвать на откровенность?»

«Что за вопрос, разумеется».

«М-м, признайтесь, вы любите первоснежье?»

«А чего его не любить, – возражал де Сидорофф, – мероприятие дельное».

«Дмитрий Евграфович, а вы обратили внимание, какая в них бездна вкуса, в снежинках?»

«Порхают, – отметил он. – Попархивают».

«Вы могли бы их с чем-нибудь сопоставить, сравнить?»

«С чем, к примеру?»

«С чем-нибудь отвлеченным, эфирным».

«Пух, пух, – сопоставил затейник, попыхивая папиросой. – Порою перо».

«Ах, как хорошо вы сейчас сказали, граф, как точно. Особенно про перо. Мол – порою! У вас талант. Вам бы в Венецию куда-нибудь, на этюды».

«Куда мне», – смутился затейник. Он сделался горд похвалою.

«Скажите, Ваше Сиятельство, а на что это намекала давеча истеричка Л.? Я имею в виду ее ламентацию на определенные силы. Неужто и вправду какие-то низкие люди терроризируют тут стариков?»

«Не верьте. Здесь давно уже нет ничего определенного. А тем более – сил. Запад весь обессилен удобствами, роскошью. Запад сгнил».

«А вы что-нибудь слышали о крестословах?» – спросил я на всякий случай.

«Их уничтожила инквизиция».

«Даже Высокого Адьдебарана?»

«Тех – в первую голову».

Ответы графа показались мне убедительными. Я успокоился, впал в безмятежность и жду прибытия Мажорет. Рассеяния мои тех дней незатейливы. Вылепливание снежных баб, выпиливание лобзиком по фанере, рассуждения на заданные себе самому темы, солнечная игротерапия.

Наконец попечительница прибывает.

Сначала она прибывает в Шманц, совершает там кое-какие покупки, заказывает билеты в неприличное синема, заходит к модистке и только затем направляется в Мулен де Сен Лу. Попутно изображается духовный мир героини – растленной, распущенной и погрязшей в пороках и наслаждениях богатой латифундистки. Мир этот нищ и убог, и автор не поступает никакими доступными средствами выразительности, дабы обрисовать его с максимальной правдивостью.

Единственная дочь бельведерской помещицы и черногогорского князя, Мажорет едва ли не девочкой отбивается от безвольных родительских рук и ко дню своего первого причастия успеваает сменить не только пар тридцать розовых с черной пяткой чулок, но и столько же, если не более, кавалеров. Отец Моришаль Кантелло, священник-иезуит православного толка, причащающий неопитов, в смятении: всю церемонию напролет девочка Навзнич снedaет его таким плотоядным взором и строит такие явные куры, что вот – он в смятении. А через неделю на исповеди Мажорет назначает ему randevу в городском отеле «Тре Кроче», и он не умеет – он просто не в состоянии молвить проказнице «нет».

Накануне свидания отец Моришаль колеблется – может быть, не идти? Нет, все-таки он отправится. Впрочем, затем лишь, чтоб убедить заплутавшую душу оставить дурную стезю. Там, в номере, куда никто не взойдет без стука, сделать это будет гораздо удобнее, чем в любом общественном месте. Чем даже и в храме, где вечно кто-нибудь околачивается, глаза на витражи, изваяния и брэнча осточертевшими четками. Да, он поедет. Однако священник отчетливо осознает, как сложно будет ему, нестарому, еще хоть куда монаху, выстоять против дьявольского соблазна, когда он останется с нею наедине в мебелирашке, где все – отец Моришаль помнил это от семинарских пор – все пропитано липким духом греха – когда она топнет своей кривоватой и оттого вдвойне соблазнительной ножкой, требуя, чтобы он запер дверь – и он сделает так – не посмеет не сделать – и, обернувшись, – увидит вдруг – он вдруг увидит, что крестная дочь его, дочь его аккуратнейшей в бытность ее в живых прихожанки – Навзнич – совсем еще девочка – а уже не одета. Тогда – о, тогда, когда уже никто не взойдет к ним – со стуком ли или без – при мысли, что совершится тогда, его колотило. Итак, одному ему не выстоять. И отец Моришаль решает отправиться на свидание с кем-нибудь из наиболее добропорядочных прихожан. Решение иезуита тем более твердо, что девочка Навзнич отнюдь не настаивала, чтоб он явился непременно один. Напротив, она недвусмысленно давала понять, что не имела бы ничего против, если бы он приехал с приятелем. Странно: ему никак не удавалось припомнить, как – какими словами выразила она эту идею. Он помнил только, что в продолжение исповеди Мажорет по-детски дерзила, капризничала и показывала ему язык. «Шалуныя, он у нее такой длинный-длинный, у глупенькой, узкий-узкий», – думал священник, ловя себя на блаженной улыбке.

Итак – отправились. Он – и кто-то из паствы. Скорее всего, директор той частной гимназии, которую посещает девочка. Едут, скачут. По-видимому, в ландо. Ну-с, вот и приехали.

Превосходно, воистину превосходно описано у меня свидание в номере. На столе и вино, и закуски, и что-то еще, а на стенах – образчики гостиничного искусства. И поскольку

драпри интимно задернуты в в комнате – полумрак, сюжеты картин не прослеживаются. Идеиное содержание также неразлично. Видно лишь, что работы выполнены непосредственно на обоях. Техника – спонтанные брызги масла. Неясно, правда, какого – растительного или животного. Да это и не существенно. Существенно то, как неисследимо наставление девочки Навзнич на истинный путь переходит в соблазнение ею и этой пары мужчин, в обладание ими.

«В Вашей прозе нет ничего конкретного. В ней все размыто и за пределами. Она похожа на цепь облаков, баловливо смазанных бризом, и уследить, где кончается то и начинается се, особенно в эротических сценах, почти немисливо», – хвалил меня в приветственном адресе по случаю какого-то многолетия В. Аксенов. «Вы – истинный чародей пера», – настаивал он, сам тоже порядочный иллюзионист. Что ж, пусть! И сцена в «Тре Кроче» решена именно в этом неопределенном ключе. Хотя при известном старанье здесь можно заметить чисто условную грань, за которой события развиваются необратимей, чем перед. Грань проходит на уровне фразы: «Разденьте меня, мне душно!» Ее произносит девочка Навзнич, покрасневшая от бутылки «Альб де Мюссе».

Примечательно, что ни тот ни другой из наставников не способен противостоять магнетизму маленькой нимфоманки. Воля благочестивых мужей подавлена, смята, и положение их заслуживает всяческого сочувствия. Взгляните, они еще проповедают, наставляют, но уже не могут не раздевать. Эпизодов, сходных с бегло здесь пересказанным, в «Свече на ветру» немало. И если в них участвует Мажорет, то партнеры ее, как правило, люди не первой молодости, годящиеся ей то в отцы, то в деды. Иными словами, девочка Навзнич хорошо разбирается в нас, мужчинах, и юному простофилю и губошлепу всегда предпочтет двух, четырех, а то и полдюжины старожиллов покрепче.

Прекрасно, но куда же смотрят родители? Э, что с них взять, с теперешних либералов. Хотя старикам Мажорет мягкотелость отчасти простительна: единственная наследница, дитя любви – как не побаловать. К тому же – она довольно рано осиротела. Мамаша-то у нее умерла не иначе как родами. Поэтому девочка ее навряд ли и помнит. А Адам Милорадович после смерти жены загрустил, опустил и воспитание дочери поручил своему побочному отпрыску, мать которого неоднократно требовала, чтобы князь документально признал его таковым и дал ему свое имя. Но князь был разборчив, и некоторое уродство сына не позволяло светлейшему поступить по всей совести. Он ограничился компромиссом с ней. Преоблачив своего ублюдка из конюхов в гувернера (По другим источникам – в управляющие), князь т. о. приблизил его к себе. То был, как вы, наверное, догадались, Сибелий, сын нашей кухарки Трухильды. (По другим источникам – брат.)

Добрейший малый, он научил подрастающую княжну всему, что знал и умел делать сам. Вычитать и складывать. Стрелять и косить. Браниться и драться. Курить и ездить на лошади. Первое катание Мажорет оказалось неординарным. Ей едва исполнилось лет, что ли, девять и едва рассвело, когда единственным в своем роде июльским утром Сибелий, не седлая чалого Хобби, сел на него, посадил впереди себя воспитанницу и умчался с нею в луга. Царила такая рань, что чибисы еще не проснулись, а на княжне была лишь короткая ночная сорочка. Перед тем, как им въехать в чащу, Сибелий попридержал коня и попросил Мажорет пригнуться, сказав, будто ветви висят над тропой слишком низко, а конь высок. В те годы княжна была довольно послушной девочкой, и она сначала пригнулась, а после даже и прилегла ничком, ухватившись за гриву лошади. Сибелий тронул. Отцовская пуца осенила их своими ветвями, и брат, воспользовавшись прилежной позой сестры, на скаку лишает ее невинности.

Девочка восторженно привязалась к бывшему конюху, и верховые прогулки внедряются в ее образовательную Программу столь планомерно, что Адам Милорадович, сам старый кавалерист с кривыми ногами на дагеротипии сараевского портретиста, не нарадуется успехам дочери. К сожалению, рамки настоящей рецензии не позволяют нам привести в ней те, может быть, излишне натуралистические подробности, коими иногда грешат такого

рода прогулки. Отмечу только, что когда я набрасывал главу о первом катании Мажорет, то сопереживал всемерно. А перечтя воссозданное, поистине исстрадался. Отчасти из-за того, что уж больно правдиво все оказалось воссоздано, психологично, и стиль исключительно выдержан. А потом – что же мне не страдать, если я сам пережил нечто аналогичное в том же и даже более нежном и ознобливом возрасте. Произошло это так.

В детстве за мною ухаживала моя бедная няня. Не в том отношении бедная, что жалованья ей не хватало – подобное в крепости не допускалось ни при каких правительствах, – а в том достойном жалости отношении, что казалась она уж очень какой-то убогонькой да богобоязненной. Ветхая была дама, старорежимная, у Романовых еще нянчила. А за нею наездами из монастыря ухаживал небезызвестный Вам Берды Кербабаев. Но хоть мужчина он был, как Вы знаете, видный и не без царя в голове, Агриппина моя капитану долго отказывала под тем предлогом, что, мол, брильянтовые те колье да колечки, которыми он ее то и знай одаривал, – суть вещи усопших.

«Живых обирать – это еще туда-сюда, – ворчала она, примеряя новое украшение. – А вот покойников обездоливать – совсем не годится». И, зашивая подарок в подкладку цигейковой кацавейки или в подушку, предупреждала: «Смотрите, подвергнетесь Вечной Погибели, узнаете тогда, почем фунт изюму».

«Предрассудочная вы женщина, – беспечно возражал ей Берды. – А еще христианка».

Несмотря на такие существенные разногласия по вопросам этики и морали, природа в конце концов возымела на Агриппину свое воздействие, и пожилые люди стали любовниками. То было в лучших традициях городского романса – весной, в тени берез. И, взирая на происходящее из песочницы, я не мог не порадоваться чужому порыву. Но счастье их оказалось минутным. Хотя ни жестов, ни мимики за капитаном не числилось уже в те сроки, он пользовался у женщин успехом и был повеса и ветреник. Не прошло и недели, как Берды благородно и честно поставил Агриппину перед фактом неверности.

Они расстались.

Она смотрела из-под руки, как он уходит, пересекая Манежную площадь. Он пересек ее и, любуясь останками допотопных тварей в окнах палеонтологического музея, направился по Моховой. Он дошел до скрещенья ее с бульваром, свернул налево, к Арбату, и затерялся в одном из тех переулков, где в ожиданье племянника жительствоваали мои многоюродные.

Агриппина расстроилась и (это ли не характерно для русской женщины той эпохи – эпохи быстрых фокстротов, по-островски мелких мещанских страстей и ложно понимаемой гордости) вспыхнула отомстить Кербабаеву. Я жалел Агриппу, старался не огорчать ее непослушанием, как-то развлечь, быть полезным. Вот почему, когда ранним субботним утром она спросила меня из ванной комнаты, не могу ли я потерять ей спину, я – хоть ушел с головой в вышивание – с готовностью отозвался: «Иду, дорогая, иду! Можно?»

«Входите, дружок».

«Какой у тебя тут пар, Агриппа. Как в бане. Я ничего не вижу».

«Сюда, Палисандр Александрович, няня здесь».

«А мочало?»

«Тут оно, тут. Натекла. А сами-то не желали бы поплескаться? Ботинки только снимите, а то намокнут».

«Тебе?»

«Себе, дружок, себе, я без всего купаюсь: привыкла. Шагайте. Не горячо? Ах, дитя мое, как вы правильно трете! Так, так. И чуточку ниже. О, ласковый. Да вы Придвиньтесь немного, а то не с руки вам. И не сердчайте уж, что подсказываю на первых порах. Ну, не томите, прошу вас. Ы! Вот как ловко у вас получается. Ах, за что вы так балуете свою бедную няню. Она ведь не заслужила. Ей совестно. Няня – бяка. Нет, нет, не слушайте, продолжайте, пожалуйста, трите».

Я продолжал.

«Ну и баловник же вы, батюшка», – говорила она, расслабленно покидая ванную после трех дней сплошного катарсиса. Месть не подозревавшему о ней Берды была сладка, по преступна, и с той поры Агриппина стала моей совершенной рабою.

В сходственных отношениях состояли юная Мажорет и старик Сибелий. Забавно: и ей, и мне любовники наши вскоре набили порядочную оскомину, и точно так же, как Агриппина по моему требованию сводила меня с товарками, Сибелий, не смея перечить воспитаннице, стал обеспечивать ее своими дружками. Как видите, идея о родственности наших с ней душ и вкусов напрашивается сама собой. Переиначивая господина Флобера, я мог бы в сокрушенности сердца признаться, что Мажорет – это я, однако мне хочется, чтобы Вы сами пришли к этому заключению, и потому промолчу.

Флобер! Вот фигура, вызывающая наше историко-литературное алас! Его изречения затаскали подобно фетровым шлепанцам, надеваемым поверх обуви при входе в музей. У них еще такие тесемки на задниках, чтобы завязывать. К сожалению, далеко не все посетители наших лувров дают себе труд внимательно прочитать инструкцию министерства культуры, и поэтому многие завязывают их неряшливо, нехотя. А некоторые не завязывают совсем, в результате чего тесемки влatchаются и увиваются за такими любителями изящного, словно шлейфы. А если бы все посетители следовали инструкции и завязывали себе тесемки как следует быть, вперехлест, в подражание древним, то вид экскурсий был бы куда приглядней, и шлепанцы служили бы нам и верней, и дольше. На основании сказанного вовсе, однако, не следует, что девочка Навзнич знакома с «Мадам Бовари», с «Лолитой» или «Манон». Нет-нет, положительные героини, девочки, так сказать, бонтонных манер, Мажорет не интересуют. Случись госпоже Бовари познакомиться с госпожой Навзнич, и поделись французенка с бельведеркой своими любовными неурядицами, последняя дико расхохоталась бы гордой Эмме в лицо и, вею раздев, исхлестала б ее своим жокейским хлыстом, шепелявя: «Не сметь, не сметь обманывать мужа!» Ибо она шепелявила. А после она позвала бы с улицы каких-нибудь отвратительных, покрытых хрестоматийными струпьями нищих бродяг и приказала бы им взять несчастную. Те приступили бы с живостию, а та, сознавая, что наказание это целительно и что она заслужила его, та возблагодарила бы небо за то, что оно ей послало в приятельницы такую чуткую и справедливую женщину, и по ходу сеанса просила бы только: «Еще, еще!» Госпожа же Навзнич смотрела бы на экзекуцию как бы со стороны и тихо светилась бы, радуясь.

Дело в том, что небольшая склонность к жестокости, замеченная у ней в детстве, постепенно переросла в неумную страсть к чужому страданию, причем страданию определенного типа. Причиной тому явилось известного сорта чтиво. «Воспоминанья» маркиза де Сада издавна стали настольными и постельными книгами девочки Навзнич, что было почти неизбежно, поскольку произведения эти принадлежали перу ее отдаленного предка по материнской линии. Служа семейной реликвией, переиздания и переводы трудов сиятельного мерзопакостника занимали в библиотеке ее отца много полок и насчитывали более восьмисот томов.

Изучение девочкой параллельных текстов сказалось. В шестнадцать она защебетала на языках похлеще маленького Одеялова. И в том же возрасте вышла замуж. Причем исключительно из светских соображений.

Руки Мажорет добивались многие, но изо всех претендентов княжна умышленно выбирает себе небогатое, незнатное и сравнительно с нею – лишь с нею! – безвольное существо. «Вы ничего не умеете», – брезгливо цедит ему Мажорет в их первую и единственную брачную ночь, не испытывая к молодому адвокатскому телу практически ничего, кроме понятной нам с Вами гадливости. С тех пор – равно как и до них – Петр Федорович Модерати нужен был ей лишь в одном супружеском качестве – номинальном, и в спальню ее оказался невхож. А поскольку Бог не послал им детей, Петр полностью сублимировался в юридическое обслуживание коммерческих заведений, в оформление купли-продажи недвижимости, в решение вопросов налогового законодательства, в

составление завещаний и соглашений по найму, в регистрацию актов гражданского состояния, а также в ведение бракоразводных и прочих удручительных тяжб.

Во все тяжкие припускается и княжна. Став супругой весьма уважаемого господина, мадам Мажорет Модерати преисполняется внешнего благочестия. На словах она – глубоко религиозная, высоко порядочная светская женщина. А – на деле? На деле едва ли не дьяволица. Ее стихией делаются маскарады, балы, балы-маскарады, рауты, пикники, бенефисы – словом, сплошные адюльтеры. Далее. Не ограничена в средствах родителя, эта ханжа по вступлении в брак осуществляет жгучую отроческую фантазию: в замке Мулен де Сен Лу на базе частного старческого приюта, организованного еще Чавчавадзе-Оглы, задействовал тайный гарем. О, с каким упоением, запойно, при попустительстве мужа и с помощью слуг, насиловала она насельников и насельниц – сама или же опосредованно, вынуждая их к массовым совокуплениям. Давшие при поступлении в приют подписку о собственной недееспособности, богаделы были по сути бесправны. Их жалобы на измывательства попечительницы принимали в инстанциях за маразматический вздор и выбрасывали не читая. К тому же эротические мероприятия проводились в замке под видом торжественных утренников, добротворительных и юбилейных концертов, обедов и вернисажей. Обустроивалось все это с такою помпой и было исполнено столькой елейности и столького всеприличия, что, слушая или глядя со стороны, Вам было бы решительно не понять – чувствуют там кого-то или бесчестят. Не понимал и Закон. Тем паче что князь, полагавший затеи дочери детскими шалостями, оплачивал любого рода услуги властей предержавших авансом и с поистине черногорской щедростью. Словно ржа железную чешую кольчуг, разъедает коррупция герцогство.

Будучи не в курсе вышеизложенного. Палисандру ничуть невдомек, отчего по мере истечения дней, остающихся до приезда княжны, лица насельников делаются все тревожней. А граф де Сидорофф? Зачем бы ему не уведомить вновь обретенного друга о происходящих бесчинствах? Зачем в ответ на попытку подозревавшего о чем-то (пусть и о чем-то совсем другом) П. поговорить откровенно Дмитрий Евграфович лишь рассеял его подозрения? Да затем, что при поступлении на работу в замок граф давал мадам Модерати клятву о неразглашении служебных тайн; и клятве был верен.

Портрет блудницы не будет полным, если не подчеркнуть, что она проводила каникулы в Эпсومه, городе скаковых испытаний кобыл, каковых испытаний она завсегда. И вот она прибывает.

Ее открытый – с несообразно всему ее образу жизни суровым фореитором – кабриолет, влекомый нецелесообразным количеством довольно-таки неплохих лошадей, въезжает в ворота Мулен де Сен Лу ровно в сумерки. И когда, сминая бегонии луга, бегу я, взволнованно помолодевший, ему навстречу, со мною случается ужебыло – очередной его приступ.

Писатель использует здесь прием аппликации. Он берет картину моего моментального озарения и накладывает ее на перспективу пространств и времен. И тогда на сумрачном фоне их, словно на смуглом челе ирокеза, обрамленном перьями перламутровых облаков, картина обретает сугубую ясность и оживляется звуками, овеивается ароматами, одевается светотенью. И я узнаю и сидящую в кабриолете особу в черном дорожном жакете с высоким жабо, и фореитора в желтых крагах, и профиль дальних отрогов, и запах альпийского ветра, и себя самого – в панаме и бриджах на лямках крест-накрест – бегущего, сминая бегонии луга. «Постойте, – молча говорю я себе и в удивлении приостанавливаюсь, – но ведь это же Вы, любезнейший, бежите навстречу кабриолету, – Вы, только невинным ребенком, – только в одном из предшествующих воплощений. А что касается той особы в дорожном, то это она, та самая родственница – единоутробная сестра Вашей прежней матери. Ваша прежняя тетка. Она приехала в ваш фамильный замок стать наложницей Вашего дряхлого, но богатого батюшки и – по его словам – заменить Вам недавно умершую мать». И сейчас, вспоминая, что будет дальше, я содрогаюсь. Да, это она, безобразно смазливая «дама из Амстердама», развратила меня, совратив. А когда в

бытность мою почти нецелованным крепостным сиротой я впервые отчетливо вспомнил, как именно все сие уже было – было (Вы помните? как будто не с нами, а с жабами), тогда то моей добродетели, скромности и был положен предел. То первое полноценное воспоминание разбудила во мне Агриппина. Разбудила, мстя Кербабаеву. Там, в ванной комнате. И я сам под влиянием ее простосердечной пылкости – тоже проснулся. Проснулся сознанием. Проснулся, не понимая еще, что к чему и зачем, – лишь предчувствуя, что после всего пережитого не смогу оставаться прежним, что начинается – уже началось – нечто смутное, суетное и тлетворное для души и тела, чему воспротивиться не дано мне – чему я не ведал и имени. Позже, копаясь в допотопных энциклопедиях, где то и знай попадались высохшие клопы, но не было ни намека на Палисандра Дальберга (что привело его в конвульсивное бешенство и подвигло швырнуть в камин ряд многотомных изданий), я выясню, что смутное нечто зовется казенно и скуплю, а именно – половая жизнь. И вот я проснулся к ней. Каждой веткой. И птицей.

Половые эмоции меланхолика, в частности половая память, подчинены законам обратной перспективы. Если текущий момент с его мнимозначительностью похож в ней на периферийный театр, в котором всегда заурядно и перебор декораций, то истекший – с уже отсеченным липшим – насущно животрепещет. Краски его разгораются, он оголен и целиком поглощает воображение. Поэтому я не гневаюсь на мою бедную няню. Она ведь сиюминутна. Она соблазнила меня недавно – вот – только что. Даже пар в ванной комнате еще не успел рассеяться, так что по-прежнему я ничего не вижу и как бы кричу ей туда, на другой, затуманенный берег Леты: «Агриппа, ты где? Не прячься! Я на тебя не гневаюсь. Мне не за что гневаться. Ты просто разбудила меня. Откликнись!» И она откликается: «Сюда, Палисандр Александрович, няня здесь!» И руки ее проступают сквозь душные испарения и сквозь хмурую кутерьму вьюжной тюри – тянутся ко мне из-за теплых летейских струй в летаргическом декабре, истомленно маня. О, велик мой соблазн. Но – отшатываюсь, но – отстраняюсь, но – прочь. Ибо мне – не пора, не время. Я должен дописать Вам, Биограф, это сказание, эти инструкции, эти последние, м. б., мемуары. А там будь что будет. За предназначенной гранью, за предначертанною чертой я уже не уклонюсь от ее объятий. Шагну ей навстречу. И, перейдя реку вброд, обрету свою няню снова – на том берегу. «Здравствуй, няня, – скажу я ей впопыхах. – Я – соскучился». Смерти нет, господин Биограф; но существует отдохновение в тиши залетейских роц, есть соитие с Вечностью, с Забытьем в образе бедной няни. И я отойду туда, чтобы слиться. И я отдохну там. Забудусь. Уж там-то – наверняка. Я поступлю так, чтоб с новыми силами взяться потом за преобразование государства российского, милостивый государь. Т. к. творцам и летописцам Истории свойственно возвращаться. Верьте в это. И уходите как можно скорей, чтоб скорей отдохнуть и вернуться.

Итак, Агриппину простил я. Но ту растлительницу из отдаленного, что согрешила со мною когда-то и где-то (как позже выяснится – в Мулен де Сен Лу) и которую я дразнил про себя «дамой из Амстердама», – ее подсознательно возненавидел. И, возжелав возмездия, стал его воздавать ей в лице ее сластолюбивого пола как такового, предпочитая особ пожилого возраста. (Кстати, чтоб не забыть. Я надеюсь, что Вы скорее одобрите, чем осудите мое предпочтение: ведь интерес историка к разного рода антиквариату довольно естествен.) За весь причиненный мне ею стыд и бесчестие я воздавал стыдом и бесчестием же и – не кривя душой – утверждаю, что проделывал это неистово, жадно и смачно. Амабиле!

Признайтесь-ка вы, мои разноплеменные и мимолетные пассии, кого я напоминал вам в те буйственные часы? Неужто и вправду лямура? Только не обеляйте меня, будьте искренни. Нет, не лямура, но склизкую рвотную жабу с пупырышками и бородавками напоминал я вам в те часы. Как, впрочем, и вы мне. Я предавался возмездию пучеглазо, величественно, всячески изощряясь и аппетитно поквакивая, а вы мне вторили, подпевали своими лягушьями дискантами. Явленные во всем природном великолепии, мы были достойны друг друга. Мы были равно отвратны. Но тот, кто намерен швырнуть в нас камень, пусть

бросит его вначале в себя. Ибо нет человека, в котором издревле не дремала бы жаба. И беда – нет-нет, не вина – наших бедных нянь состояла в том, что они будили не только нас, но и в нас – ту жабу, т. к. сами делались ее первыми жертвами. Ах, слышали б Вы, каково им квакалось! Снисхождение? Я лично не ведал его. Да и кто его ведал в те годы. (Подробней об этом читайте в моем труде «Этическая логика гуманизма», особенно в главе «О детской и отроческой жестокости». Последняя, по моему глубокому убеждению, есть оборотная сторона такой медали, как сердобольность.)

Ну вот, а фореитор – он был и будет просто фореитор – во все времена: неотесанный бельведерский мужик в зеленой ливрее и крагах на босу ногу. Придурковат, но, умело прикидываясь полной дубиной, он состоял негласным любовником «дамы из Амстердама», чье имя – поскольку я не могу его сразу припомнить, а скоропись хронографии не терпит никаких проволочек – пусть будет теперешним: Мажорет. А – мое? Я был сыном своего престарелого батюшки герцога фон Бельведер, и не исключена возможность, что он из любви к искусству назвал меня Аполлоном. Я был Аполлон Бельведерский, вообразите! К несчастью, сейчас, в эпоху победоносного плебса, мало кто понимает, что значит носить подобное имя.

Итак, сминая бегонии луга, я все бегу навстречу ее экипажу: теперь – и тогда – и завтра – и всякий раз, как в том возникает необходимость – в любом из человеческих воплощений моих – неукоснительно, всенепременно – я все бегу. И с каждым разом предшествующая «Мажорет» все менее отличается от последующей, а фореитор – все менее от фореитора, бег – от бега, и луг – от луга, и я – от я. И однажды наступит час, когда все многократно воспроизведенные дежавю со всеми их вариациями сольются за глубиной перспективы в единое ужебыло. И я не смогу себе дать отчета, в каком из бытии моих я бегу вот сейчас, вот сию минуту, и что такое сия минута, и к чему здесь эти бегонии, и при чем тут – а если при чем, то кто – кто этот некто, обозначаваемый с Вашего позволения буквой я. Хотя, если честно, я не способен в том отчитаться уже и нынче, и тем не менее все бегу и бегу.

Обдав Палисандра дорожной грязью, кабриолет проносится мимо, и наш герой остается один в кругу нерешенных вопросов. Циническая манера мемуариста все подвергать сомнению, куриная слепота его сексуальной памяти приводят к эффекту сомнительной ценности. Текст постепенно утрачивает присущую ему изначально четкость и обретает расплывчатость. И хотя субъективно автор по-прежнему не поступает никакими средствами, чтобы как можно полнее раскрыть внутренний мир персонажей, читатель претерпевает лишения путника, застигнутого наступающей ночью. В смятении свидетельствует он ускользновенье деталей. Сначала из поля зрения ускользает третьестепенное, после – второстепенное, и т. д. Так, на странице семьсот четырнадцать, где почему-то еще раз рисуется внешность встречающего жену Модерати, отсутствует привычное упоминание о его манжетах. Следующие четыре страницы посвящены рассказу о том, как выглядела приехавшая. Но и тут Вам остается лишь восхититься умением автора описать все так, чтобы не описать ничего. Доходит и до курьезов. Положим, когда господин Модерати тянется за расческой, чтоб причесаться, рука его навсегда повисает в Вашем сознании, символизируя типическую незавершенность акта, ибо ни сам адвокат, ни предметы его обихода в тексте более не фигурируют, точно их совсем уже описали и опечатали. Исчезает и такая деталь, как время. Причем регулярно. Проблема его систематического отсутствия мучит мемуариста всечасно. В этой связи вспоминается эпизод из вставного романа «Там, в ванной комнате». Вернее, два эпизода. Носимый по всем континентам различными веяниями и судьбами, П. оказывается в стране кленового листа девятьсот девяностых годов второго тысячелетия.

«Дела привели меня в мятежный Квебек,– пишет автор,– Локальнее – в Монреаль, ставший своего рода канадским Бейрутом. Часы на вокзальной башне показывали полшестого, на моих было девять, а по Молсону (Молсон – канадский пивной король. Его гигантский завод в Монреале построен на вершине горы Монтроял. Часы,

вмонтированные в трубу предприятия, видны почти с любой точки города) дело близилось к полночи. Вдали постреливали.

«Эй, приятель! – по-свойски окликнул я какого-то мимохода в бойких усах.– Сколько времени, малограмотно говоря?»

«Виноват, но этого больше нету».

«Pourquoi?» – чуть ли не удивился я.

«Разве сами не знаете?» – тихо сказал субъект.

«Понятия не имею. Я, видите ли, приезж, прямо с поезда».

«То, о чем вы спросили, упразднено».

«Кем?»

Он оглянулся и молвил: «Бунтовщиками».

«Безумцы!» – всплеснул я руками.

«Презумпция? – извратил мимоход, уносимый сквозняком мятежа в некую подворотню.– Презумпцию отменили тоже».

"Зато,– заочно полемизирует с ним Палисандр,– в провинцию была возвращена из-за океана традиционная галльская гильотина. Лонгвийский гравер вывел вдоль лезвия девиз злопамятных кебеуазов – «Je me souviens»– и адрес: «Великому народу Квебека от металлургов Лорейна»».

Отделение провинции от остальной Канады, состоявшееся в те же дни, сопровождалось повальным саморазоблачением ренегатов и отчленением их туловищ от голов. Первым по недоразумению казнили Рене Левека, вдохновителя победившего беспорядка.

На эшафоте бывший премьер-министр выглядел осунувшимся, но счастливым. Знак v не давал покою кистям его рук, и Клио дышала ему в лицо, словно преданная Химера. Расстроганно-благодарный народ ликовал и плакал. Закон – молчал. Лишь в последний момент возникает революционный герольд и кричит, что постановлением свыше лишение головы заменяется господину Левеку гражданским умалишением. Раздосадован неуместной гуманностью, он в сердцах эмигрирует из республики в тот же вечер.

Безвременье вредно, губительно. Оно разъедает структуру повествования до мутной неузнаваемости. И вместе с самим Палисандром мы перестаем понимать, в какой из его инкарнаций все это случается. Кто он – осиротевший мальчик Средневековья, юноша Железного века или старик Переходной эпохи, взыскующий приюта в том замке, где он по меньшей мере однажды родился и вырос? А может быть, он двулик – многолик, и происходящее с ним есть двудейство – иль многодейство? Неясно. Тем более что привычная логика бытия достаточно опрокинута. Ясно только, что при знакомстве с прибывшей Палисандр испытывает неизъяснимый трепет и что после знакомства она ведет его за руку анфиладами комнат в зал актов, а может быть, в процедурную; словом, куда-то туда, где уж все приготовлено: фрукты, вино, писчебумажные принадлежности. Расстелена и постель. Там совершится непоправимое. Хоть и не сразу. Сначала он распишется в собственной недееспособности, и некто, чья личность не будет установлена никогда, скрепит его подпись личной печатью. Затем Мажорет, влекомая прелестями Аполлона начнет домогаться его внимания.

«О, разденьте меня, разденьте»,– задышит она благовониями своего похотливого рта и тела.

«Ах, тетушка, разве можно, ведь мы не одни, у нас возрастная пропасть, подумайте, я – ваш пасынок, мы только что оформили соответствующие документы, я же почти что ребенок, а вы – – – вы так страшно юны, что с лихвою годитесь мне в дочери, вообразите, что скажет высшее общество. Бельведер, ежели вдруг узнается – нам не дадут проходу – а муж? Посмотрите, разве это не Петр сидит за клавирами, наигрывая краковяк? Ему, наверное, было бы неприятно, ревностно. Он, видимо, выбежал бы с расстройства прочь. О Петр Федорович, милый вы мой человек,– вольно же вам было брать в жены такую молоденькую да ветреницу. Не приведи Господь, захвораете, сляжете,– так такая вам и стакан чаю на одр не подаст, Петр Федорович, стакан. Или это не Петр? – – – А, это

герцог, мой одинокий рара. Вы знаете, как он ждал вас, та tante. Все выбегал, все спрашивал, нет ли писем из Нидерландов. Он, знаете ли, отчаянный филателист, а голландские марки теперь так ценятся. Да не в них, разумеется, счастье. Что марки! Он вовсе не меркантилен. Он любит вас просветленно, искренно, без посторонней мысли. Его любовь есть какой-то незамутненный источник вечной привязанности. И если б рара узнал, что вы мне тут предлагаете, он бы просто не вынес и, увядая, твердил бы одно и то же: „Ах-ах-ах, зачем я ее только выписал из этого Амстердама, зачем я ее только выписал!“»

Мажорет раздражилась. «Так значит, вы не хотите раздеть меня?»

«Я не смею, дружочек, я, право, не смею. Мне совестно».

«Что ж, тогда раздевайтесь сами».

«Позвольте, а мне-то к чему?»

«Вас осмотрят».

«Я совершенно здоров, уверяю вас».

«Карл Густавович, осмотрите», – сказала она.

Сидевший за инструментом восстал, стукнул крышкой. Свет ранних лампад и звезд лег ему на чело, подбородок, выявил щеки и нос. И я понял, что обознался. То был не Петр и не отец мой герцог.

«Но разве вы – Карл Густавович? – сомневался я, отступая, меж тем как он без сомнения надвигался – и плотью, и тенью. – Вы – управляющий наш Сибелий, не правда ли? Только не отпирайтесь. Ваш бритый череп выдал вас с головой».

«Ошибаетесь, – рек он грустно. – Я – Карл Густав Юнг, здешний доктор, и должен завести на вас медицинскую карту, историю ваших болезней. Без этого вы не сможете стать насельником».

«Вы – самозванец, почтеннейший, – сказал я ему. – Юнг был моложе. Я прекрасно помню его по лекциям в Дерптском университете».

«Некогда все мы были моложе, – звучал ответ. – Раздевайтесь».

«Нет-нет, вы не смеете, я прошу вас нижайше».

«Экий вы у нас, батенька, интроверт», – говорил элегично некто, буравя меня пустым и томительным взором покойного моего учителя Вольфа Мессинга.

«Боже мой, я стал гипнабелен, как ребенок», – думалось мне, проваливаясь куда-то вниз, в подсознание. Но прежде чем окончательно кануть, успел, повинувшись некому приказу гипнотизера, сбросить шлафрок и расстегнуть себе лифчик.

Когда я очнулся, то понял, что тело мое лежит на постели предельно обнажено и кто-то умело и жадно пальпирует его в четыре руки. Присматриваюсь: то были некто и Мажорет. И он говорит ей: «Пощупайте здесь, сударыня. Оригинальный анатомический случай – истинный гермафродит».

«Тем лучше», – сказала она, пощупав.

И я сказал им: «О ком это вы сейчас говорили? Кто – истинный?»

И он сказал мне: «Вы-с, батенько, вы, сладенькое мое». Физиономия бритоголового остряла выражением деловитости, граничащей с непричастностью к происходящему действию, а лицо Мажорет отталкивало выражением слюноточивой похоти.

Взвиться – кинуться анфиладами и галереями, кровезавораживающе вереща – удариться в гневный

античный бег бога гнева, запечатленный в массе мозаик. Это следовало проделать немедля – тотчас, не откладывая в долгий ящик. Но – стыд! Густопсовый и муторный, он сковал мне и волю, и члены. И только уничижительный лепет: «Простите, я совершенно запамятовало», – был ответом моим незнакомцу.

Постепенно пальцы пальпирующих делались все настоятельнее и вкрадчивей, и неловкость моя уступала место телесной радости, плотской неге и, наконец, уступила его бесстыдству. Я млело и бляло, реяло и пресмыкалось. Я бредило. Мне было утробно, приятственно. Мне было либи́до. И все мои незавидные обстоятельства больше не

обстояли – их цепь распалась. Я стало раскованно, свободно от всяких предубеждений, и даже тот факт, что моя двуединость открылась, не ужасал меня.

До сих пор лишь четверо, кроме меня самого, – мать, отец, дядя Лаврентий и дядя Иосиф – знали о теневой стороне моей исключительности. Врач, принимавший роды у мамы, – не в счет. Поняв, что знает излишне много, он в ту же ночь выпил снотворного. «Он был воплощенное благоразумие», – сказал о нем Лаврентий на панихиде. А кормилицам, боннам и прочему персоналу раздевать меня категорически возбранялось. Так что после смерти Лаврентия я оказываюсь единственным хранителем тайны, возведенной в ранг государственной. Я храню ее беззаветно. Дабы не проговориться во сне, стараюсь забыть о ней, для чего не гляжу на себя нагое, а также не думаю и не пишу о себе в среднем роде. Выражение «дерзающее лицо» – единственное исключение.

Сын грядущего райского века с его безоговорочным равенством всех полов, а то и с гермоархатом. Вы, может быть, изумитесь: к чему мне подобная скрытность? Я объясню.

В нашу эру общественное мнение рассматривало гермафродита как сексуального отщепенца, а быть таковым полагалось порочно, безнравственно, а подчас и преступно. Поэтому миллионы моих соотечественников-гермафродитов – ложных и истинных – воспитывались в том сознании, что они суть мальчики или девочки. Они носили соответствующие имена, прически, одежду и, не распознаны, не разоблачены, пользовались правами и привилегиями единополых граждан: активно участвовали в жизни своих трудовых коллективов, посещали спектакли, концерты, синематографические и другие увеселительные учреждения за исключением общественных бань. (Те, кто подобно Вашему корреспонденту догадались мыться в пижамах, посещали и бани.)

Изначально я было сопричислено к мальчикам и неплохо справлялось с порученной ролью. Ни в крепости, ни в монастыре, ни в остроге никто, насколько я знаю, не заподозрил подлога. Но, как видите, на старости лет тайное стало явным, разоблачение мое состоялось. Обидно. А с другой стороны, наступило известное облегчение – с плеч гора, камень с сердца. Ведь хорошо, когда не нужно что-либо скрывать, таиться. Тогда можно мыслить и чувствовать нараспашку, без комплексов и парадоксов, существовать полноценно, светло. Славно значиться личностью как таковой, но во сто крат славнее значиться личностью соприродного пола. (Афоризм мой. – П. Д.)

И вот, эйфорически изнывая под ласкою настоятельных рук, я бормотало себе: «Свершилось – бита и эта карта. Отныне пусть ведают все: я – Палисандро, оригинальное и прелестное дитя человеческого, homo sapiens промежуточного звена, и я горжусь сим высоким званием».

Коллега Биограф! Мой истинный почитатель и друг! Разрешите мне на пороге дальнейших перипетий обратиться к Вам с отступлением. Позвольте нынче же, здесь, взяв в свидетели эти витые кремлевские свечи, связать Вас научной клятвой.

Общеизвестно, что в жизненной практике высокородных и высокопоставленных лиц происходят порою настолько щекотливые инциденты, что экспонировать их ко всеобщему обозрению полагается нежелательным, ибо интимные сведения о великих мира сего профанируют-де и снижают их образы. Здесь описывается как раз такой эпизод. Однако я никогда не страшилось и не страшусь профанации, т. к. образ по-настоящему честного человека настолько высок, что снизить его никому не удастся. И я говорю Вам, Биограф, со всей настоятельностью: «Человечество должно знать суровую правду: я было гермафродитом!» Нет, я не эксгибиционисте, любезнейший, как меня, вероятно, трактуют иные ваши хронографы от порнографии; я, скорее, действительно интроверто. Но я хочу – претендую – дерзаю быть тем единственным, кажется, лидером нашей злосчастной эпохи, который всегда и во всех обстоятельствах оставался предан исторической истине – душою и телом. И я хочу быть уверен, что осознание Вами моей двуполости и изучение связанных с нею особенностей моего правления и личного экзистенса не пройдут под грифом «секретно», что Вы не погребете определенные факты моей биографии где-нибудь в ниве памяти, втуне, в ограде академической посвященности, а, наоборот, предадите их

публикации и огласке. Чрез разделяющие нас прорвы столетий – однажды и навсегда – клянись мне в том. Клянись, а я со своей стороны обязуюсь быть сколь возможно признательно и не остаться в долгу. Давайте-ка вот что – давайте я посвящу Вам одно из своих произведений. Неважно какое – ноктюрн, акварель или что-либо из элоквенции. Только клянись – и я одним посвящением обессмерчу Вам имя. Идет? Где-нибудь в уголке произведения, чтобы особенно не бросалось в глаза посторонним, я начертаю слова: «Посвящается моему будущему биографу». И распишусь. А Вы потом аккуратно припишете свои инициалы и посвящение обнародуете. Не думаю, чтобы кто-нибудь усомнился в его подлинности на зыбком основании того, что я не могло угадать Ваших инициалов. Что значит – не могло! Ясновидение решает еще и не такие задачи. Договорились? Тогда клянись. Вы слышите? Не упускайте шанс!

Благодарю Вас. Я всегда полагало, что кудель гробовой тишины спрядена из шопотов будущего, и вот теперь отчетливо различаю меж ними Ваш клятвенный, страстный отзыв. Читайте ж, читайте меня, Биограф. И, не коря за корявость руки и слога, простите за натурализм описаний.

«Карл, вы будете первым, – сказала ему Мажорет. – Приступайте». Мнимый доктор достал из кармана баночку с вазелином, смазал себе зизи и разверз мне межножье.

Я закричало, словно животное. Да, в целом было приятно, однако складывалось впечатление нереальности происходящего, и потрясенное Ваше тело казалось убогим, худым и хрупким. Или Вы вдруг ощущали себя в том смысле, что Вы есть тлен и грязца, результат случайного стечения обстоятельств. Или Вы были тот челн, что был мал, утл, и Вас беспощадно раскачивали, стараясь перевернуть, чтобы вкусить извращения. И от поры до поры это делали: переворачивали и вкушали.

Женщина, наблюдавшая за процедурой из глубокого кресла, постанывала, часто дышала и шумно сглатывала: зуд похоти одолевал ее: она рукоблудила. И когда, насладившись, бритоголовый поднялся, она принялась раздеваться. Отблески каминного пламени бликовали на ее колье и браслетах, а ее самое била дрожь. Подстегиваемая жестоким желанием, она торопилась и сбрасывала белье прямо на пол.

«Фу, как вы чувственная, Мажорет Адамовна», – замечало я, не испытывая никакого влечения к ней как к девочке Навзнич, однако без всяких видимых оснований пленяясь чарами немолодой амстердамки.

«Молчите, – одышливо возражала женщина, упиваясь моими пропорциями и формами. – Не ваше дело».

Я замолчало; но запретить мне думать она не посмела, и, глядя на ее выкрутасы, я заключило: «Фрейд прав. Зизи есть та самая ось, на которой вертится вся Вселенная».

Когда выпуклая луна в окне стала вогнутой и забрезжило, меня забили в колодки, и мы перешли в скульптурную галерею, где поколениями замковладельцев собрана была недурная коллекция мировых шедевров. То были по преимуществу изваяния императоров, королей, богов и богинь. Среди них терпеливо ждала поклоненья и жертв изуродованная катаклизмами Богиня любви из Мелоса – безрукая и безногая. И вот – дождалась. Мажорет привязала меня к Богине лицом к липу и безжалостно застегала жокейским хлыстом.

«Ах, мачеха, – плакало я, прижимаясь к прекрасной калеке, чей образ вдруг пробудил в моей памяти будущие монастырские страсти по Ш., – зачем он вас только выписал!»

«Вот тебе! – злорадствовала дама из Амстердама. – Вот тебе, чтобы не путался с этой эллинской шлюхой! А это, – продолжала княжна, полосуя мне ягодицы, – это за то, что вы изнасиловали кухарку Трухильду!»

«Помилуйте, я только хотело сделать ей потягуси».

«Вот вам за потягуси, вот вам, вот, вот!»

Бич бичевал, свистая.

«Простите, простите, ведь я заплатило ей!»

«Ласки Трухильды бесценны», – сквозь зубы возражала княжна, продолжая терзать несчастное существо.

От удара к удару ее возбуждение росло и частично перерастало в меня. Я делалось исступленно неистово. Взвинтив до отказа, моя полутетка и мачеха отвязала меня от Венеры и предалась сладострастной мести приемыша с той отрешенностью, на какую способны лишь наиболее испорченные голландки. При этом она позволяла себе такие кунштюки, что похититель моей невинности, делавший вид, будто ведет протокол осмотра, только покрывал. Локоны ее развевались, как на скаку: она неистовствовала *appassionato*.

Спустя какое-то время в галерею наведался наш фореитор. Он сообщил, что отец беспокоится, отчего мы не вышли к завтраку и обеду, и спрашивает, выйдем ли к ужину. Мачеха велела сказать, что вряд ли, и, не смущаясь присутствия малолетнего пасынка, совершила с лакеем акт близости. Меня покорило.

Потянулись будни. Обыкновенно княжна заполняла их воплощением своих садомазохистских кошмаров в жизнь – мою и других насельников дома. Причем с каждым днем затеи хозяйки делались все изощреннее, обретая характер китайских пыток.

Вы, верно, заметили, что я никогда не кичилось своей образованностью, однако и не таило ее понапрасну. По едва проговоренным, вскользь кинутым разноязычным цитатам, ремаркам моим и пометам на книжных полях Мажорет сумела понять, что судьба свела ее с крупным филологом и лингвистом. Тщеславие знатной профанки было уязвлено интеллектом неименитого, вроде бы, богадела. Тогда решает унизить его как ученое.

«*Mon cher*, – говорит она ему как-то за кофеем томным голосом великосветской львицы, – в нашем герцогстве уже семьдесят лет процветает салон ревнителей этрусской словесности».

Я встрепенулось.

«В четверг, – продолжала она, – у нас в приюте состоится юбилейное заседание. Не желали бы вы открыть его приветственной речью?»

«Разумеется – непременно – почту за честь».

«Вот и отлично. Так значит, в четверг, не забудьте».

«В четверг, дорогая, в четверг».

И в свободные от экзекуций минуты, любовно пользуясь первоисточниками, П. набрасывает доклад на тему – «О некоторых особенностях этрусского языка» и в назначенный день и час возникает перед собравшимися.

Ученое Божией милостью, П. наивно и близоруко. Ему и в голову не приходит, что и заседание общества, и общество как таковое – блеф, и что сидящие в зале насельники готовы по указанию Мажорет разыграть омерзительную комедию.

«Дамы и господа, – обращаюсь я к ним по-латыни и щелкаю каблуками шлепанцев. (Единственная моя пара сапог за систематическое непослушание и ряд самовольных отлучек получила выговор с занесением в послужную скрижаль и находилась под домашним арестом, приказ о котором подписав был лично мною.) – Господа и дамы, – повторяю я обращение по-монегаски и древнегречески. – Дамы и господа! В сей сверкающий, припорошенный кристаллами изморози денек разрешите мне в вашем лице благодарно поздравить наш величавый этрусский язык со всеми его удивительными склонениями и спряжениями, суффиксами и префиксами, падежами и препинаниями».

Продолжить не довелось.

«Эй, старуха! – развязно крикнул кто-то из аудитории. – Кончай баланду травить!»

Провокатора поддержали. Слова его послужили как бы сигналом к обструкции. Воцарился чудовищный гвалт. Лектора забросали тухлыми авокадо, потом низвели, опрокинули в приготовленную заранее купель со смолой и, вынув, вываляли в лебяжьем пуху, благо Сибелий не постоял за излишками оного. Затем, улюлюкая, хохоча, гримасничая и портя воздух в лучших традициях средневекового рыцарства, меня возвели обратно на подиум и заставили читать речь в обратном порядке – справа налево. И по мере того как я

выступало, обструкция быстро перерастала в безотносительное веселье, а то – в повальную вакханалию с употреблением бранных слов, гашиша и спиртного.

Я оглянулось окрест. Залы, ниши и комнаты – коридоры и лестницы – балконы и галереи кишели разнообразнейшей публикой. Тут было, казалось, все наше послание – от дворянской интеллигенции до конной, с плюмажами, артиллерии. «Сливки общества, – думало я, – и такой пассаж». И внутренне все сотрясалось.

А – Мажорет? Сидя в ложе верхнего яруса, та наслаждалась и зрелищем оргии, и страданиями докладчика и распивала шартрезы. Эриния! Форменная Эриния! Ниже я осмелюсь живописать Вам некоторые другие ее развлечения из типичных.

В архитектурной системе замка имелась изолированная сторожевая башня. Пред нею усилиями моих несостоявшихся внукоприемников была разбита та самая клумба с кактусами, о которой рассказывал Адам Милорадович. Нужды нет говорить, что я почтительно обожало эти растения, мемориально благоговело пред ними. Бывало, часами просиживало я на табурете у клумбы, грустя о несбывшемся. Как-то я поделилось переживаниями со знакомым насельником, а тот – по доброй этрусской традиции – доложил о них попечительнице. На следующий вечер я не доело за ужином Порцию штрудля и решило припрятать остатки про черный день под матрацем, но было изблещено соглядатаем. В наказание за сей ничтожный проступок Мажорет заперла меня в упомянутой башне и приказала кормить исключительно гороховым супом. Трухильда варила, а Сибелий носил его мне в судках и насильно кормил с оловянной ложки. И если я Вам скажу, что в башне – как и в большинстве средневековых сооружений спартанского типа – удобства отсутствовали, а ночного сосуда было попросту не дано, то Вы не осудите сироту за проявленную им слабость.

За полночь, когда мои внутренности переполнились громокипящей бурдой и рассудок уже не справлялся с позывами, я не вытерпело и стало справлять нужду через единственную бойницу, которая, по моим рассеянным представлениям, выходила в ров. И когда поступало описанным образом, я слышало торжествующий глас Мажорет.

«Осквернитель! – вопила она откуда-то снизу. – Вы какаете на кактусы бабы Насти!» И хохотала глумливо.

На шум шли уже с фонарями.

Заподозрив неладное, дерзающее лицо попыталось унять извержение: тщетно: стул оказался упрям и неистов. Он был проливной. А те, кто шли с фонарями, сошлись. Световые лучи их приборов разом выхватили из мрака высоких сфер мой нависший над клумбой зад и двуснастье и осветили событие в целом. Увиденное повергло явившихся в дьявольскую свистопляску. Казалось, ночь обратилась в Вальпургиеву, и, алчная до скабрзностей, в замок продолжает сбегаться – сползаться – слетаться бесчисленная чернь и нечисть не только из близлежащих поместий, а и со всей Европы.

К несчастью, бойница, куда я протиснуло круп в состоянии аффектации, оказалась настолько узка, что теперь, облегчившись, вызволить его не представлялось реальным. Обретаясь в таких поистине стесненных обстоятельствах, я почти не могло оглянуться. Краем ока я видело только угол черного неба и о частностях происходившего во дворе могло лишь догадываться. Но общий смысл событий вырисовывался довольно отчетливо. Мадам Модерати спровоцировала святотатство, я совершило его, и, лицезрея драму художника, богадельня сардонически возликовала: бьет в тулумбасы, орет оратории и марширует в факельном шествии. А такие яркие представители этой сатанинской общественности, как бельведерские близнецы Абрего, снова затеяли свой ритуальный диспут. «Страусы!» – «Гиппопотамы!» – «Австралия!» – «Месопотамия!»

Утром, смазав оливковым маслом, сатрапы княжны извлекли меня из бойницы, препроводили на двор и усадили на табурет перед клумбой. Я долго сидело там, ужасаясь открыть глаза.

«Открой их!» – гласила толпа жестоких.

Открыв, я лишилось чувств.

Описанный случай распалил воображение Мажорет еще пуще. Теперь наши сеансы творились по преимуществу в ванной, где, будучи дальней, но прямолинейной родственницей адмирала Роджерса, она вынуждала меня играть с нею в кораблики и особое удовольствие получала в пылу морского сражения. Если же мы встречались в алькове, то там она изощрялась иначе. Устройством инженера А. С. Попова княжна вылавливала из эфира концерты тропической музыки и требовала, чтобы я утешало ее в соответственном ритме. И сие тоже было мучительно и докучно, ибо на мой абсолютный слух те лихорадочные мелодии суть ритмы собачьей свадьбы, и подлаживание под них в процессе чего бы то ни было порочит звание гражданина. Но ежели гражданин беззащитен, бесправен и слаб, его не жалеют и пользуются им по своему усмотрению. И тогда – тогда он должен подлаживаться. Меня – не жалели. Хищнически транжиря мое природное дарование, Мажорет оставляла мне лишь четыре наполеоновские часа на сон, который осуществлялся на исключительно жесткой койке и едва освежал изможденное тело. Не отдыхала и голова, ибо подушкой служила пустая, в сущности, наволочка.

М. будила невольника плоти разбойничьим свистом хлыста и гнала в туалет. Наблюденье за процедурами П. впечатляло ее неизменно, и еще до завтрака она успевала с лихвой наверстать упущенное за ночь. А после завтрака дело, как правило, принимало групповой оборот: привлекались ясельники и свободные от предрассудков гости. Рабочий день разгорался, вступал в пору зрелости, креп, мужал, наливался соками и увядая к обеду, чтоб к ужину обрести второе дыхание. Грехотворение шло под лозунгом – «Все дозволено!» Как фигурально выразился бы О. М. Стрюцкий, резвились напропалую. И мудрено ли, что, направляясь на ужин, я чувствовало себя, словно вывихнутый сустав, и шаталось, как зуб алеута.

Попутно отметим: было это именно в тот период духовной моей эволюции, когда под влияньем Плутарха я особенно увлекалось вопросами морали и нравственности. Ежедневно теория настаивала на одном, а практика требовала противоположного. Легкое раздвоение личности в сочетании с ее половым изнурением привели к депрессии, которая усугублялась неуважительным ко мне отношением большинства богаделов. Весть о моей двуединости плюс *casus castus* произвели на публику тот эффект, что – о нет, я не побоюсь этого слова! – мной стали брезговать – мной, самым что ни на есть чистоплюем!

Впрочем, я тоже особенно их не жаловало. Я – презирало их. Презирало за их медкотравчатость, ретроградство. За европейский релятивизм. За грязь под ногтями. За незнание языков. За нестиранные чулки и носки. За перхоть, гунявость. За трепет перед скорою смертью. За суетные о ней разглагольствования и сплетни. С большой обличительной силой рисуются автором нравы навзничского приюта.

«Особенно, – пишет П., – мне претили их пошлые застольные шутки, без коих те обходилось, наверное, ни одно принятие пищи. Считалось хорошим тоном во всеуслышание предположить, что шеф-повар Амбарцумян (Мне показалась его стряпня. Поэтому, когда в девяносто девятом решался вопрос, кто будет кормить нас в походе, я вспомнило об Амбарпумяне, вызвало его к себе в ставку и произвело в кашевары-намарше. То был его звездный час, никогда им не чайнный) снова мыл свои закавказские ноги в кальмаровом супе, а яблочное пюре выглядит так, будто однажды его уже съели. И все в том же роде».

Следует также учесть, что по просьбе всего коллектива со столов не сходило козье молоко, которое я никогда не пило, т. к. по моему глубокому убеждению оно откровенно пахнет подмышкой; а бывшая депутат бельведерской думы В., сидевшая за столом напротив меня, без конца уверяла, что проклинает тот день и час, когда пришла на конюшню. «Отдаться гермафродиту! – говорила она драматическим шепотом. – *Que! cauchemar!*»

Ко всему добавьте влачимо мною духовное одиночество, сравнимое разве что с одиночеством сверхмарафонца, – и вот Вы уже почти догадались, зачем, сокращая и без того краткий сон и стараясь не видеть неба, я хаживало за водяную мельницу, на берега близлежащей трясины. Я хаживало туда отойти душою и сладко поплакаться жадам на

идиотизм богадельского экзистенса. Предсказанное Модерати сбылось: удобно в шато Мулен де Сен Лу мне не было. И все, что мне оставалось делать,— это молиться. И я поступало так.

«Возри, о Господи, на Твоего Палисандро. Се человек, пораженный сиротством, лишенный надежд на увнученье, родины и свободы, реноме и невинности, юности и багажа. И все это – в самые сжатые сроки. Возри на него, Господи, и призри».

Когда я смолкало – тогда воцарялась Вечность. Твердь цвета индиго молча глядела сверху. А снизу – но тоже молча – из своих бородавчатых тел наблюдали жабы. И молча пустыми глазницами циферблатов смотрела на сироту История. И молчали; каждое дерево, всякая птица, любые комар и крот. И лишь со стороны богадельни, из окна, озаренного ночником, доносилось сольфеджио сладострастия. Вкушая амброзии Гименя, колоратурный фальцет пел бельканто.

И все-таки выдалась ночь, когда, утомившись утехами, новобрачные утомонились. И стало так тихо, что Вечность воцарилась вполне. Так тихо, что Тот, к Кому я взывал в молитвах, услышал меня и внял им. И взял надлежащие меры.

На следующий день Он посылает ко мне затейника.

«Извините,— взволнованно-вежливо сказал де Сидорофф, подсаживаясь ко мне в кафетерии,— вы отфриштикали?»

«Более или менее».

«У меня для вас новость. Только выйдем, пожалуй, а то тут сквозит».

«Давайте отправимся к озеру».

«Не возражаю, давайте. Правда, я до сих пор не пойму, отчего вы зовете озером то, что всегда было морем».

«Я сам не пойму. Вероятно, по той же причине, по какой перелетные стаи дают колоссального кругая в облет абсолютно ровного и сухого пространства. В силу какой-то необъяснимости. Мистика, всюду мистика».

Я накнуло кофту, и мы удалились в дюны.

«Не знаю, по-видимому, это совсем не моя забота, но приобретенный партикул, который вы так хвалили, дает мне право по крайности предупредить вас.— Он говорил так, что его волнение стало моим.— И помимо того, я вам попросту благодарен. Ведь вы открыли во мне поэта. Вы окрылили меня. Я – пишу».

«Неужели и вы?»

«Позвольте, кстати, зачесь образчик».

«Благоволите».

Простой когда-то механик, де Сидорофф привел помещаемое здесь двенадцатистишие.

Осень, пора золотая!

Воздух ядерный алкая,

Утром из ящика вынь

Письма Берклея, Баркляя,

Письма династии Мынь.

Вынь и другие. Листая,

Крикни соседке: – Агляя!

Что вы там как неживая.

Вам от царя Менелая

Весть поступила благая.

– Ах, наконец-то!

– Аминь.

«Филигранно,— отметило я.— А главное – исторично. Моя мастерская, моя».

«Вот видите. Короче, я очень признателен и хотел бы предупредить вас о неприятности».

Дмитрий мялся.

«Не мнитесь. Излагайте сплеча, по-нашему».

«Вчера,— объявил затейник,— мне стало известно, что на последних скачках в Эпсоме Мажорет Адамовна проигралась на тотализаторе и поэтому отдает вас в сераль».

«Поэтому? Я не усматриваю тут никакой логической связи».

«Связь? Деньги. Она хочет отдать вас туда в погашение долга».

«А в чей, Дмитрий Евграфович? В чей, если не тайна, сераль?»

«Кронпринца Аравии Фад Ибн Абдул Азиза».

«Это тот, что с бородкой, такой симпатичный?»

«Да-да, они все там с бородкой».

«Презренное золото! Но отчего непременно меня? Разве я более ей не мило?»

Массовик не ответил. Он знал, что я знаю ответы на эти вопросы само. Отменный психолог, я давно обратило внимание, что Мажорет пресытилась мною, что наша связь ее тяготит.

«Ваш ход, господин затейник?»

«Конем»,— возражал де Сидорофф.

«На которое поле?»

«i9».

«Бежать? – Идея представилась суетной.— А куда? В сопредельные княжества, что ли? А паспорт?»

«Я вам достану. У меня хорошие связи».

«Послушайте, а может, проще пожаловаться куданибудь? В прокуратуру там, в мэрию».

«Исключено. Вас и слушать не станут. С момента поступления в старческий дом вы на территории Бельведера бесправны, за вас все решает администрация».

«Ну, бежать так бежать,— согласилось я, не отваживаясь еще представить, на чем и куда конкретно, а также что будет с моим государственным пенсионом, который мне, вероятно, с таким трудом выхлопотал Модерати.— А вы, Дмитрий Евграфович, не желали бы присоединиться?»

«Я – пас».

«Жаль, а то за компанию – как бы славно».

«Увы,— с большою определенностью отвечал затейник.— Мое место – здесь, среди угнетенных духом.

Я развлекаю их – и вижу в том свое основное призвание. Буду работать, пока хватит сил,— одушевленно делился планами Дмитрий.— А когда не хватит – просто умру. Я умру, развлекаая!» – воскликнул он.

«Что ж, тоже дело»,— одобрил я.

Де Сидорофф вскрыл портсигар: «Угощайтесь».

Мы закурили, и дым отечества переполнил нам легкие. (В те годы я злоупотребляло курением всласть. Бесшабашные сроки! Непосредственность восприятия, свежесть мысли, ясность побуждений и чувств, неудержимо брызжущая молоджавость членов – зрелость! Куда что девалось? Прошло. Сегодня – ванна, а завтра – в отставку, в запас, в скромный горного хрусталя саркофаг. И – в барельеф, в горельеф, в мемориальную плашку. Да, смерти нету. Но есть запредельная, одутловатая тишь да гладь, и в кувшине у изголовья – казенные по расписанию лютики. И – взгляните! Не сами ли мы кувшины и амфоры – хрупкие, прихотливо сработанные сосуды с горячей кровью, медленно стынувшей с течением бытия, чтобы остыть окончательно.)

«Не поминайте лихом!» – бросило я затейнику наступившей ночью.

Он отвечал адекватно. Мы обнялись. Незаметно Дмитрий сунул в карман моего архалука какой-то пакет.

«Вероятно, деньги,— мелькнуло во мне; и мелькнуло: – Как чуток!» И гордость за человеческого земляка заставила подтянуться и приосаниться.

Передряга, нанятая им в соседней деревне, тронулась. Из вещей со мною лишь надувная ванна, единственное мое утешенье во всех походах.

Выехав за пределы поместья, действие ускоряется. Впопыхах торопливого повествования неизбежно становишься сбивчив. Не успеваешь додумать мысль, досмотреть путевой эпизод. Бегство! Воля! Прощай, моя растлительница Цирпея, чрез час я буду уже в смежной державе. Фальшив ли мой паспорт на имя какого-то мосье Монпасье, фальшив ли я сам – что нужды, коль помыслы искренни и высоки – как высоки и искристы пики пепельно розовеющих в отдалении Альп. О, складчатый край Жан-Жака, раскрой на этом рассвете бутоны своих одуванов навстречу очередному Кандиду, сентиментальному беглецу от страстей человеческих.

В Женеве, а может, в Цюрихе или Берне – зашло в журнал:

«Я покушался на Брежнева».

«Брежнев? А кто это?»

Объясняю.

«А, этот. Так он ведь, простите за прямоту, того-с».

«Допустим, но память о нем жива».

«Память – это не актуально».

«*Sic transit gloria mundi*», – печалилось я, направляясь в своем пестроватом заморском пончо – вон. Пряча презрительную гримасу в пенсне, я напоминало себе очковую выхухоль.

Диалоги, подобные приведенному выше, имели место в редакциях прочих изданий. Паблिसити не состоялось. А пытаюсь встать в связь с Николаем Романовым, узнаю, что и его времена истекли. Просрочены оказались и явки. В растерянности решаю завербоваться в наемники – шлю документы на Корсику, в штаб Иностранного легиона. И вновь неудача: не подхожу по возрасту.

Подстегиваемо нуждою, берусь за работу. Служу в управах по ведомству всевозможной статистики: считаю и пересчитываю число экипажей, проехавших через мосты в единицу времени; учитываю количество стихийных бедствий; из них пожаров, разливов, обвалов, восстаний, свадеб, деторождения, измен – столько-то. Подвизаюсь курьером в посредническом бюро неприятных известий. Поливаю цветы в обезлюдевших апартаментах. Даю уроки стихосложения и дзюдо, оригами и камасутры. Гадаю на картах и по руке. Держу пансион для собак и кошек из хороших семей. Составляю кроссворды и притчи, скороговорки и некрологи. Наведываться по вечерам.

Но деньги имеют тот категорический недостаток, что пока их не слишком много, их неизменно недостает. И тогда наступает пора припомнить, что кроме уже потраченной мною суммы, в пакете, что положил мне в карман де Сидорофф, имелось рекомендательное письмо к его другу, парижскому сутенеру Ц.

И вот я в Париже. Порывистый ветер с реки треплет кудри моего парика, опрокидывает мольберты художников на Монмартре, лотки букинистов в Латинском квартале и дует в уши угрюмому волку в безлюдном зоо.

Первый клиент, как и первый учитель, забываем. А у меня оказалось два первых клиента сразу. То была пожилая чета Пежо, пресытившаяся брачной рутиной и вместе ищущая внесемейных возможностей. Искушенность супругов равнялась их неразборчивости. Они перепробовали, казалось бы, все сколько-нибудь интересное – от цирковых обезьян до резиновых кукол. Но отведать истинного гермафродита им никогда еще не выпадало. Миллиардеры, они откупили меня на неделю. Мы быстро сблизились и уже на вторые сутки сделались так неразлучны, что даже в санузел, ласкавший взор чистым золотом унитазов, умывальников и биде, ходили все вместе. Однако Запад есть Запад. В последний вечер мы вновь стали холодны, замкнуты, почти незнакомы, едва раскланивались и опять говорили друг другу *vous*. И когда, расставаясь в фойе их версальского особняка на площади де Фюрстенберга, мосье Пежо подал мне шубу и зонт, я – в прощальной попытке детанта неловко шутя – сунуло в руку ему какую-то мелочь – су двадцать. А он – он не увидел тут шутки и принял свои чаевые за чистую, как говорится, монету. «О Русь! – я подумало.– Моя закадычная бессребреница! Днем с огнем не сыскать

по здешним палероялям твоей разбойничьей неразберихи и щедрости». Словом, алчность клиента омрачила мне весь дебют.

Биограф, если когда-нибудь Вам случится прогуливаться Парижем и Вы набредете на скандально известный сквер Порт Дофин, что неподалеку от русской миссии, – остановитесь. Снимите в молчании шляпу. И сострадательно вдумайтесь. Тут, где-то тут, совершило я свою первую профессиональную сделку с совестью. Под стать событию сквер был заплеван, как душа потаскухи. Да и прочий Париж моих полусветских дней не отличался особым лоском. Проворовавшиеся отцы города вконец его запустили. Отчаянно возмечтав стимулировать экономику, власти открыли новый аттракцион – экскурсии по системам канализации. Варварское развлечение рекламировали кощунственные афиши: к путешествию радушно приглашал Мыслитель Родена, восседавший на стульчаке. Но Эльдорадо не выгорело. Париж продолжал нищать и обнашиваться. Вообразите, на тех самых улицах и площадях, где еще столетью тому вершились судьбы Европы, сегодня грязь, на углах валяются тряпки, которыми дворники направляют сток дождевой воды в решетки клоак; валяются также клошары; полно каких-то арабов и в обилии бродят подозрительные существа, торгующие своими несвежими телесами. И Вы – одно из таких существ, персонаж с набережной Сены, с улицы Сен-Дени. Вы – проститутке. Вращаясь на общественном дне, неплохо представленном в разного рода шедеврах критического реализма. Вы опустились, обрюзгли. Вашим единственным утешением делается работа, а увеселением – рентгеновский автомат в кегельбане. Всего за какие-нибудь пять франков можно часами сидеть у экрана, пить свой абсент и любоваться собственной требухой и скелетом в свете пронизывающих лучей. А по утрам Вы испытываете комплекс вселенской вины и, плетясь домой, в конуру на рю дез Аршив (Address, как Вы понимаете, далеко не prestigious), сознаете, что жизнь подмяла Вас под себя беспардонно.

Спасает случай.

Однажды, когда продавцы печеных каштанов опять взвинтили и без того непомерные цены и закрепленная за Вами панель отзывалась сплошным неуютом осени, Вас подцепил и отвез к себе в номера некий Шарль, назвавшийся антрепренером.

«Давно ты занимаешься этим?» – спросил он меня потом, когда, отдыхая на низкой тахте, мы освежали себя анжуйским и сладостями.

Я сказала. Тогда он признался, что я ему нравлюсь и подхожу, и справился, не желало ль бы я участвовать в одном предприятии, связанном с дальними путешествиями.

Предложение заинтересовало меня. Мы обговорили контракт и ударили по рукам. Выезд назначили на воскресенье.

Кибитка Шарля ждала меня на Елисейских Полях. Миновав Триумфальную Арку, мы в полдень были уже в Клиши и не успели достичь Лавалея, как в Орлеане нагнали главный обоз. Мне оглянулось – «Адье, Пари, я не любило тебя, друг мой!»

Жара шла на убыль, но пыль, поднимаемая передними тарантасами, практически не оседала. «Черт с ней», – думалось мне, чихая.

К закату остановились, разбили шатры, стали ужинать, хохотать, у костров слышались песни, и чьи-то влюбленные тени шептались на придорожном погосте. Пахло прелью. Дышалось всем существом. А где-то в селенье плясали джигу, бубнил тамбурин, и какой-то крупный вития достал откуда-то целую пригоршню звезд и зашвырнул их на небо. Чувствуя себя в новой компании совершенно своим, счастливым и пьяным, я не испытывало астробобии и о звездах думало не менее снисходительно, чем о пыли: «Пусть, пусть роятся, если не лень». И мыслило: «Со старым покончено. Время жить набело, перечеркнув в кондуите Рока все прежние страхи, грехи, огрехи. Время высветлить себе всю артистическую палитру, воспрянуть. И время нажать на какие-нибудь потайные пружины жизни столь страстно, чтобы – расшевелить – ускорить – увеселить ход событий. Время – вперед!»

В таком энергическом настроении влилось я тем незапамятным вечером в несколько необычный, точнее, единственный в своем роде художественный коллектив – труппу

странствующих проституток. Не стану распространяться о судьбах ее милovidных актрис, рассуждать о творческих методах и твердить о волнительных буднях и трудных радостях этой немолодой, а вместе с тем вечно юной профессии. Позволю себе лишь несколько беглых штрихов из области путевых зарисовок.

Перевалив через Пиренеи, мы постепенно откочевали в долину Тибра и встретили Новый год в Вечном городе. Начиналась коррида. По улицам бежали взъерошенные быки, по небу – тучи. Шел дождь. Барاخло, выбрасываемое из окон темпераментными тиффози, немедленно намокало.

А после была Португалия, были Греция, Мадагаскар, Филиппины. И открылся весь мир. И повсюду происходило не то, так это. Так, в Белфасте какие-то сорванцы забросали меня снежками. В Стокгольме, у Академии, столкнулось с самим Сведенборгом, и он меня сильно выбранил. Огорчили и Салоники. Там, в краеведческой галерее, мне показали ясли-кровать, сработанную местными мастерами по заказу Екатерины Великой. От нашей, манежной, эта отличалась более изощренной, изысканной росписью и отделкой. «А, вот почему она никогда не брала нас с кн. Григорием в греческие свои паломничества!» – подсказала мне застарелая конская ревность. И, содрогаясь коварству Катрин Алексевны, я прокляло всех жеребцов Эллады и вышло, пылая отчаянием. И, впав в прострацию и в безветрии уронив ветви рук, долго-долго маячило на углу с незакуренной пахитоской в губах, пока подошедший клиент не поднес к ней зажженную спичку.

«А!» – воскликнуло я в испуге и отшатнулось.

«Почем?» – приценился клиент.

«Нынче – даром», – сказала я, мысля шальную, с надрывом, ночь – ночь возмездия.

И быстро мы зашагали к белевшему в отдалении шапиту, где размещался наш бродячий борделло.

И снова – в путь. Снова пущена карусель калейдоскопических впечатлений: Бразилия, Гваделупа, Английское Конго, Венесуэла и Гондурас с его обрывистым побережьем.

Не забыть и страну победившей нирваны. Там капля дождя, достигая поверхности лужи, отчетливо произносит не «кап», а «дзен». Там – все концы и начала. Там – благодать. Только, пытаясь ей приобщиться, не спрашивайте у прохожего, который час или век, видел ли он, как течет река или квадрат Малевича. В лучшем случае Вас не поймут, не заметят, пройдут насквозь. В худшем – унижат, станут бить палкой по голове.

Вряд ли будет преувеличеньем сказать, что кругосветное странствие требует от вояжера выдержки в хладнокровия. Как-то в Иоганнесбурге или в Дуйсбурге иду по бульвару, и кто-то внутренним голосом окликает меня внезапно по имени-отчеству: «Палисандр Александрович, а Палисандр Александрович!» И притом – абсолютно явственно. Мне сделалось остраненно. Однако я быстро взяло себя в руки и не только что не откликнулось, но даже и голову не повернуло. Спаси Господь – невозможно – чуть выкажешь им слабину – сразу слетятся – осенят шершавыми крыльями, и начнутся такие страсти, хоть в петлю лезь. Нет-нет, увольте, милые тетушки, от ваших загробных заигрываний. Вы слышите? Кыш!

Но есть, сударь, голос, есть мысль и чувство – есть их триединство, которому Вы не ответить не в силах и на которое не оглянуться Вы не имеете никакого морального права. И – будьте прокляты, если однажды Вы все-таки не ответите – не оглянетесь и перестанете быть верны ему всею сущностью человека – пусть человека, быть может, затоптанного или зятанутого нездоровой средой и в довольно прискорбных кармических обстоятельствах – человека греха и маразма, сумы да тюрьмы, нор да дыр. Т. к. если Вы не ответите – не оглянетесь – не помыслите встречно, значит, Вы хуже плевок на лоне земли – копошащееся ничто, абсолютная склизкая слизь. Простите, что изъясняюсь с таким придыханием; речь – о России. Зане, как бы она ни была к нам строга и немилосердна, в какие б обличим ни рядилась, мы обязаны ей слишком многим, чтобы не оказывать хоть элементарного пиетета. Почтите, впрочем, за лучшее возлюбить ее и вседневно, всечасно хворайте о ней гражданской душой. Лично я безусловно было, есть и останусь горячим

поклонником нашей неброской Отчизны. Конечно, у меня с ее дипломатами в Бельведере сложились весьма, как Вы знаете, натянутые отношения. Да ведь что дипломаты? Гниль, плесень, плебейская шушера: нынче эти, а завтра другие. Россия же – та неизбежна. И вместе с тем никогда я не звало ее ни мамашей, ни бабушкой или там теткой. И не казалась мне родина ни вечерней звездой, ни полднейной в бору кукушкой, ни ранней – ни свет ни заря – молошницей, каковою она являлась джойсовскому студиозусу в башне на берегу бурнопенного моря Гиннес; она мне всегда рисовалась скуластой болезненной нищенкой с паперти храма Святого Василия, рахитичным подростком с матовыми и подсвеченными светом свечи щеками, с высоким костистым челом и в чьих-то обносках. И прекраснейшим среди этих обносков мне было ее застиранное подвенечное платье. Похожий на проползень городской поземки, шлейф его был дыряв и ввиду отсутствия пажей влачился по праху. Мы никогда не знакомились, и в неведении об ее настоящем имени я нарекло ее Рек. Примелькавшись друг другу в предшествующих бытиях, при встрече мы молча раскланивались. И хотя нищета ее меня тяготила, я ни разу не подало ей: благотворительность с моей стороны оскорбила бы нас обоих. Ведь, несмотря на все внешнее их отсутствие, нас связывали известные отношения: мы тянулись друг к другу. И пусть мы жили по разные стороны крепостной стены, с годами наша приязнь же крепла, становилась возвышенной и нежней, но в силу моей посвященности женщинам пожилым могла быть липы» илатовичеекой. Назовите ее любовью издаека, и Вы нисколько не ошибетесь, ибо до самого отъезда дерзающего лица в послание мы так и не сблизились, не обмолвились словом. А там, в послании, под влиянием походов во мне – будто старая рана – открылась по ней ностальгия. А тут еще мои экзальтированные товарки с их воздыханиями о первой любви – ах, чему еще предаваться странницам на привалах. Истории женщин были душещипательны и единообразны: всем им некогда наобещали с три короба, всех соблазнили иль изнасиловали и всех покинули. И вот они перед Вами. В походе о первой любви рассказывается у костра, по кругу, и Вы не можете отказать от исповеди, хотя бы К выдуманной. Но я ничего не хотело выдумывать, Я повествовало лишь правду.

«Жила-была девочка с вечнозелеными, как у Луны, глазами,– начинало я повесть. Тьма наступала и миновалась. И я заканчивало: – И она была столь прекрасна, что почти не была, потому что была когда-то, в иной, невозвратной жизни. Не плачьте, сударыни,– утешало я спутниц.– Пора в дорогу, светает». И – в сторону: «И ты тоже не плачь обо мне, Россия. Не плачь, ведь тебя больше нету. Как и меня. Нас нету. Мы перешли. Отболели. И все-таки – да здравствуем мы, вечно сущие в области легенд и преданий, мы, обреченные вечной разлуке брат и сестра».

Мы собирались и выезжали. Обще говоря, дорога – если только Вас не везут на казнь,– рассеивает уныние. Но что примечательно. Едешь Тропиком Козерога ли, Рака – едешь в феске, косынке или чалме – едешь во мраке ночи или невежества, где-то в тебе неустанно пульсирует потаенная мысль – о Рек, о Родина! И в ответ – ее ласковый, словно ля укулеле, глас – О Палисандр, брат мой! И чувство не то чтобы смутной, а какой-то неопределенной печали – печали и жалости – жалости и томления – догробового томления по малолетней, предсказанного Вам в отрочестве горбатой Преображенской соительницей,– томленья и неги – помните? – помните? – целая гамма чувств брезжит в Вас здесь, в послании, как брезжила там, в равелине. Гамма эта – она, конечно, сродни ужебыло. Двоюродна? Даже роднее. Наверное, единоутробна. Кажется, будто что-то кому-то должен, будто бы надо куда-то пойти иль уехать, кого-то о чем-то предупредить. А может – не кажется? Может – действительно надо? Но если и так, то, пожалуй, потом, не нынче. Отсрочка сладка. Вы млеете. Мыслится лавка кожевника, голубика со сливками иль латук. А мулы, гонимые стимулами возниц, бегут, фуры – катят, и экзистенс, соблазня, пьяня и вьясь наподобие то ль алкогольного, то ли воздушного змия, пирует в неопикуемой славе. И неисчислимы фантазии его и сюрпризы.

«Вы в интересном положении»,– объявил мне однажды ирландец О', заботливо осмотрев.

Мы стояли лагерем под Вальпараисо. Весна ликовала. На юг полетели с курлыканьем журавли. Зацвели павлины. Не в тех ли волшебных числах поэт каменистой республики Огненная Земля Хорхе Педро писал:

«I gru cominciarono a volare verso il sud, con il loro, i pavoni cominciarono a fiorire» («Журавли с курлыканьем полетели на юг, и зацвели павлины»). (Перевод с исп. мой. – П. Д.))

«Не хотите ли вы сказать, будто я беременно?» – возражало я ирландцу.

В прошлом крупный гомосексолог с международным апломбом. О' разочаровался в науке, наследственно запил, публично отрекся от имени, пустился в интернациональный загул и по идейным соображениям кончал в нашем передвижном заведении рядовым гинекологом.

«Si, senogo», – сказал ирландец. Уменьем поставить ранний и точный диагноз дурной болезни О' завоевал среди проституток незыблемый авторитет. «Вы безусловно беременны», – сказал мне ирландец. Родить и воспитать своего ребенка было моею мечтой еще в детстве, когда я с таким упоением игрывало в дочки-матери. Однако становиться родителем-одиночкой в походных условиях казалось верхом нерассудительности.

Слово аборт прозвучало. Через неделю О' проделал необходимые манипуляции и выписал мне бюллетень.

Пережитые ощущения побудили меня вплотную задуматься о судьбе простого трудящегося гермафродита в теперешнем мире, о положении гермафродита вообще. Меморандумом «В защиту двуполых», адресованным главам восьмидесяти четырех (В честь международного года Оруэлла) разновеликих держав, началась моя общественная деятельность. Я умело сочетаю ее с работой по специальности и литературно-художественными исканиями. Последние увенчались заслуженными успехами, которые общеизвестны. Поэтому если ниже мы с Вами и пробежимся по ним, то довольно глассандо.

Сначала в «Пингвине» выходит мой автобиографический путеводитель по сингапурским домам терпимости, исполненный сценами самого иступленного толка. За ним последовал созданный по заказу Северо-Атлантического Союза Трезвенников роман «С глазами кроликов», оказавшийся на поверку досужих критиков апологией алкоголизма. И в том же году свет увидел мой «Бронкс» – сборник жизнеутверждающих повестей из быта нью-йоркских мусорщиков. Все три произведения получили большую прессу и стали бестселлерами. Снятые по ним синема запретили повсюду.

Но наилучшая участь постигла еще один том моих мемуаров. Книга выдержала девяносто изданий. Ее тиражи превысили таковые гитлеровских дневников, опубликованных годом ранее. В просторном предисловии к ней редактор журнала «Колл-Бой» Белл Соллоу указывал: «"Обстоятельства внучатого племянника" – так с присущей ему неброской громоздкостью озаглавил свой труд сам автор. Однако, соболезнуя нездоровому интересу читающей публики к интригующим и фривольным названиям, мы вынесли на обложку одно из них: „Инцест кремлевского графомана“. И оно тем более извинительно, что обнажает всю суть по-солдатски сразу, без фарисейских преамбул, так что читатель с первых страниц догадывается, что Агриппина, растлившая маленького Палисандра, не просто няня его, а родная прабабушка – А. А. Распутина-Книппер. Кроме того, есть уверенность, что второе название не только успешней определяет пафос воспоминаний, но и точнее очерчивает весь круг тогдашних общественных идеалов и мучительных поисков на путях всемирной генеалогии, кремленологии и словесности».

Финансовый успех публикаций позволяет мне удалиться от странствий. «Отныне, – писало я в Лигу Морального Большинства, – прошу считать меня вашим членом».

Желая очиститься от всяческой скверны, провожу я два года в монастыре на острове Санторини. Затем по предложению приятеля моего Ж.-К. Дювалье обосновываюсь у него на Гаити и становлюсь владельцем широкой сети массажных салонов тайландского типа. В них массируются виднейшие просветители, музыканты, артисты, промышленники и политические прохвосты. Я богатею. И с ростом банковских накоплений растет моя

страсть к собирательству. Бессонными тропическими ночами, исполненными трепетных отношений массажного персонала и клиентуры, она особенно неотступна.

«Коллекционировать!» – стрекочут цикады.

«Коллекционировать!» – лепечет океаническая волна, перебирая береговую гальку.

«Коллекционировать!» – мыслит тростник.

«Да, во что бы то ни было, – соглашаюсь я. – Только – что?»

В нашу мевшей статье «Что нам коллекционировать?», опубликованной в еженедельнике «Вэниги Феер», я ставлю этот вопрос совершенным ребром.

«Пароходы? – писало я. – Дома? Летательные аппараты? Громоздко. Искусство? Банально. Искусством уставлена и увешена уж любая гостиная. Марки? Пуговицы? Монеты? Или каких-нибудь кафкианских жуков? Ничтожно. Оставим сие на откуп посредственностям и неимущим».

Проблему решило время. Дни, когда повальное увлечение ненасущным вышло из граней разумного и коснулось потустороннего, – наступили. Стало модным скупать и дарить старинные захоронения, урны, а то и целые кладбища и колумбарии. Мелкая буржуазия разбирала останки более или менее известных людей восемнадцатого, девятнадцатого веков. Крупная приобретала средневековых правителей, именитых повстанцев, деятелей Ренессанса. Последние стоили баснословно. Еще больше ценились философы и пророки дохристианской эры, популярные воины и диктаторы Рима. А за древнеиндийские и древнеегипетские погребения платили вообще неслыханно.

Кладбищенская лихорадка достигла апогея в том самом году, когда египетский президент Мубарак презентовал мне на именины мощи своего далекого предка Тутанхамона. Специалисты оценивали роскошное подношение в четырнадцать миллиардов гурдов! Столько не стоили все сокровища покойного фараона, взятые вместе. И хотя эта натуго перетянутая выцветшими бинтами мумия не являла собой ничего вдохновляющего, она, доставленная в мою высокогорную резиденцию в самый разгар галопа, произвела впечатление неразорвавшейся бомбы. Следовало видеть физиономии дорогих во всех отношениях гостей, когда двери бального зала разъехались – и двенадцать ливрейных в лиловом внесли подернутый катакомбной патиною саркофаг. Раскрыв, из него пахло стоячим нильским болотом, древними поверьями, испарениями нечистот. «Смотрите! – вскричала, если не ошибаюсь, вдова тридцать пятого президента Америки Жаклин Онассис. – Он похож на куколку шелкопряда!» Фурор сделался необыкновенный. Некоторым стало дурно, другие только поморщились, но восторг был всеобщим, и дамы уверяли мужей, что «Тутти» замечательно сохранился.

По совету своего бальзамолога я поместило «Тутти» в прохладу и сухость собственной холостяцкой постели, причем неудобств это практически не доставило: ведь само-то я почивало по преимуществу в ваннных покоях, обитых на всякий случай пуленепробиваемой пробкой. И вот, злодеи, врывавшиеся по ночам в мою спальню убить меня и застававшие в ней другого, бывали, по-видимому, вельми раздосадованы таким оборотом событий, и моя репутация оборотня, которую я приобрело еще во дни отрочества, заметно упрочилась.

Благодаря Тутанхамону, а точнее – Мубарак, я тоже подпало поветрию моды: решаю коллекционировать старинные захоронения. Только не захороненья вообще; вульгарным любительством, эклектизмом я не грешило и в малом. Натура систематическая, и сознавая себя патриотом в послании, автор делает соответственный выбор: коллекцию составят останки соотечественников, умерших вне родины.

Не мешкая, П. встает в связь с пастырями русских зарубежных епархий, с агентством по скупке краденых трупов и урн, с козанострой и другими всеильными институциями при Организации Объединенных Наций. В известность относительно его планов ставятся тысячи близких ему по духу политических лидеров и единиц печати. Обаятельно и щедро, оно заручается их поддержкой.

Хорошо, запершись ввечеру у себя в мезонине с бутылкою старого дебюсси, перебирать, ворошить персональные карточки, медленно наливаясь той самой, знакомой всякому

собирателю, рыцарской скупостью и хмелея в грезах о новых сериях и раритетах. В одночасье – со всеми их милыми, но никому уж не нужными фразами, позами и проказами – мелькнут перед Вашим умственным взором различные Крупенские, Михайловы, Струве. Возникнут графья Толстые и Граббе, князья Лихтенбергские и Люциферские. Явится столп послания Оползнев, мемуарист. Обремененные знаниями, грузно прошествуют в белых душегрейках философы Шестов, Бердяев. Пройдет и сам Николай Александрыч с семейством. Снобируя толпу почитателей, профланирует последний дворянский писатель Бунин, нобелевский лауреат.

Как Вам известно, я тоже удостоилось скандинавских лавров. Моя борьба за эмансипацию и равноправие гермафродитов была высоко оценена в Осло. И той же, довольно туманной, осенью литературные мои достижения получили признание у стокгольмских высокоумов, с одним из которых, если Вы не забыли, мне уже приходилось сталкиваться. Приехав, я зачитало речи и, расшаркавшись своим вечным пером в обеих премиальных ведомостях, сделало таким образом первый в истории нобелевский дубль. Премии были, конечно, весьма символические, карманные, вкуче что-то около шестисот тысяч долларов, но в добром хозяйстве все пригодится. Приблизительно эта сумма покрыла расходы, связанные с приобретением небольшого братского захоронения в Константинополе.

Постепенно престиж мой и международный авторитет возросли предельно. Я делаюсь фигурой поистине раблезианского измерения. Меня цитируют и узнают повсеместно. Достаточно указать, что на автора строк оборачивались не только на улицах индонезийских или новозеландских весей и городов, но и в долинах Тибета, хотя путешествовало я постоянно в масках.

«Не беда, что моя посланническая карьера не задалась, – подводило я некоторые итоги в амбарной книге, служившей мне блокнотом для тригонометрических экзерсизов и максим. – И не беда, что неслышно, непрошено подступает ко мне безуханная старость. Зато она обеспечена и беспечна, а я уважаемо и овеяно опахалами преданных лиц. Я – почетнейший член сотен клубов, лиг, комитетов и академий. Я – обладатель целой связки ключей от столиц планеты, держатель самых высоких в мире – кладбищенских – акций. Я – владелец земельных угодий. Из них болот, пустырей и оврагов – столько-то. Я – хозяин замков, гасьенд и вилл, дирижаблей и барж, фаэтонов и катафалков. Я знаменито. Я – знамение своего времени. Я его знаменосец. И, неопалимо пылая огнем гуманизма, – горю, озаряя заблудшим овнам народов путь в ночи бытия».

Но Родина, – бредило я порою, рея в этом неверном свете, – где моя Родина? – шарило я в этом мраке руками ветвей и ветвями дланей. И внутренним голосом возражало: про Рек – забудьте. Ваше отечество – Хаос.

Но вот заходит ко мне однажды сосед Дювалье на предмет обсуждения биржевых новостей и, поглаживая моего кота В., говорит:

«Вы слышали, кстати? В России-то опять катавасия намечается».

«Полноте!»

«Истинный крест».

Посылаю за прессой. Приносят. На первый взгляд все как прежде. Бастуют трамвайщики, кладовщики. А студенты, подстрекаемые агентами иностранных разведок, ушли в беспорядки и вирши. Ничего примечательного. Серые эволюционные будни. Однако меж строк отчетливо прочитывается – «Началось!» И поэтому почти что не удивляюсь, когда в один из нежнейших бермудских полдней месяца Козерога моя экономка Пепита, вся в буклях, протягивает мне в плескалице со сгущенными сливками пакет с приветственным адресом, подписанным всеми кремлянами.

«Кремль, – говорилось в нем, – гордится своим легендарным сыном и желает ему и его коллекции скорейшего возвращения в Отчизну». И реагировало телеграммой сдержанного согласия: «Грядем». Ответная депеша из Эмска гласила: «Орден часовщиков назначает Вас комендантом Российского Кладбищенского Зарубежья».

Тогда, сняв себе в Гибралтаре отличную штаб-квартиру с видом на одноименный пролив, действительно собираюсь я в путь. В продолжение ряда лет мой разбросанный по всему свету антиквариат эксгумируется, изымается из ниш колумбариев и пироскафами свозится в сей юго-западный угол Европы. Здесь, на запасных путях тупикового толка, формируются составы сугубого назначения. Первым со мной во главе отправится партия неизвестных солдат, видных деятелей культуры, науки, политики, кое-кто из генералитета и некоторые члены императорской фамилии. А за ним в соблюдение субординации потянутся поезда с менее именитым прахом. (Для справки. К Стрельцу девяносто шестого года в картотеке коллекции насчитывалось более двух миллионов имен: от известного своей сообразительностью шахматиста Алехина до какого-то слабоумного и всеми забытого однофамильца его, скончавшегося в хронологической глуши восемнадцатого столетия в Эль Чико-Потато.)

«Держайте! – говаривало я подчиненным, инспектируя ход погрузочных операций.– Служа своему народу, грузите и помните: смерти нет!»

Накануне отправки – еще одна телеграмма из Эмска. «Правящий Орден часовщиков просит Вашего разрешения заочно провозгласить Вас Свидетелем по делам Российского Хронариата и Командором Ордена по праву наследия».

Не смутясь высочайшими званиями, отбиваю ответ: «Провозглашение разрешаю». Затем поворачиваюсь к Одеялову и повелеваю трубить поход.

Дни в дороге летят стремглав. Не успели мы оглянуться, а Западная Европа уже за холмами: мчимся Чехией, Польшей. И вот как-то под вечер Одеялов выходит на станции скупить газет и узнать заодно, где стоим. И когда возвращается, спрашиваю: «Ну, где?»

Имя города, произнесенное денщиком, походило на звук, сопутствующий откупориванию шампанского:

«Чоп!» – сказал Одеялов.

Мы были на грани Родины.

Встрепенувшись, я высунулось из окна. Пахло мятой и чебрецом. Вдали голубело. И всю наполненную гулом колес и сердца ночь напролет была Малороссия, праотчий край Николая Гоголя и Якова Незабудки. А утром пошла Смоленщина – Русь.

Остановив состав на случайном разъезде, спустилось в какую-то балку и долго лежало ничком, иступленно прильнув губами к нещедрой земной коросте. Но позволив себе эту слабость, поспешно вернулось в вагон и до самого Эмска диктовало секретарю реестр первоочередных мероприятий. Уже подъезжая к вокзалу, на крыше которого колыхался плакат «Дальберг – совесть нашего человечества», продиктовало последний тезис: «Кульм моей личности всячески пресекать». И вышло на крытый перрон, где оркестры шумели «Аве Марию», ставшую позже державным гимном.

Встречавшее в полном составе Временное правительство – трепетало. Я пристально поздоровалось.

В крепость ехали по Тверской, ныне проспект Кербабоева. Заложив руки за спину и мерно покачиваясь с носков на пятки, я стояло в открытом авто и экспромтом бросало на ветер речь «К моему народу».

«Безвременье кончилось,– говорило я, говоря.– Наступила пора свершений и подвигов. Разберем кирки и лопаты и маршем бодрой печали и горестного ликования отправимся хоронить своих мертвецов. Клянусь вам, мы разобьем для них кладбища лучше прежних!»

«Да здравствует!» – кричали в ответ и устлали дорогу любезными моей сердцевине иерихонскими розами. А? Вы помните? И повсюду – по улицам, закоулкам и площадям – по всему ненаглядному Эмску – по всей Москве – штопорили метельные крутнии.

## Эпилог

Жизнь обрывалась. Она обрывалась безвкусно и медленно, словно тот ничтожный бульварный роман, что заканчивается велеречивой смертью героя. Заштатный бульвар, на

котором его листали, пролегал, осыпан огарками спичек и звезд, и окурками, и неотвратимой в демисезонной литературе листвой. Там стояли скамейки. Они стояли витиевато, массивно, с незыблемой основательностью кованого литья, сучковатого дуба, антично изогнутой пустоты. На них и листали – слюнявая и замусоливая. И, листая его, сей роман моего непотребного экзистенса. Вы забывали об унижительных тяготах и трудах своего. Вы – забывались. И мысли о бренности всех и всего переставали подтачивать, чреваточить труху организма. Вы увлекались настолько, что Вам иногда мерещилось, будто этому тексту ничуть не дано затеряться во времяворотах и завихрениях относительности. Вы заблуждались. Хотя вся предваряющая меня словесность есть только робкая проба пера, неуклюжая клинопись, дань человеческому бескультурью и хамству, – дано: затеряется всякое слово.

И очертя похмельную голову – и опрокидывая стоящие на пути предметы житейской утвари – и навзрыд – автор слепую летучей опрометью кидается вон – на засаленную черную лестницу имени Достоевского и, вцепившись в перила негибкими пальцами, наклоняется над пролетом имени Гаршина, которого некогда бесконечно ценило. И наклонившись, искоса оно оглянулось. О детство! О юность! О молодость! О любовное догробовое томление по девочке Рек, с которой мы более никогда не виделись. Или же – виделись, но не узнали друг друга, поскольку оба неузнаваемо постарели. О старость! Даже и ты отлетела. И – обратите внимание! – все, что случилось, случилось напрасно и зря. А пробрешь – зияла, а жизнь – отболела. И – медленно она обрывалась.

Тогда автор привстало на цыпочки. И, подавшись еще немного вперед, перевесилось и вообразило ее себе во всех ее пошлостях, безобразиях и гнойниках, как если бы это была не жизнь, а какая-то прокаженная сифилитичка, продажная тротуарная дрянь, которую оно когда-то боготворило. Его передернуло. Борт души накренился. О равновесие, инстинктивно робея утратить тебя самым необратимым образом, оно держалось одною рукой за перила, меж тем как иною нащупывало неразличимые в свете перегоревшей лампочки спекшиеся уста свои. Нащупав, оно разомкнуло их. Разъяло и челюсти. И привычным движеньем бывалого ключника сунуло в разверстую скважину рта ключ двуперстия.

Автора вырвало.

И, вращая стрелки вселенских часов – часов на миллионах небесных брильянтов в миллиарды карат, – прихлынули в виде воспоминаний все остальные столетия.

год 2044

Дальберг

## Газибо

А что там,  
поскольку, что ли, осведомились,  
спросили то есть по поводу, где-либо повстречав,  
что именно,  
может, не сильно переменявшись в лице, но, скорее всего, взволнованно,  
определенно взволнованно молвил насчет изящного кто-нибудь незабвенный,  
что собственно

2

человек, очевидно, проникся чувством:  
он, верно, очень ценил изящное,  
думается, восхищался им, посещал соответствующие музеи, лекции,  
не исключено, что коллекционировал,

то и дело улавливал в нем наличие чего-то магического,  
каких-то, что называется, скрытых пружин, тайных струн,  
тихо радовался его успехам,  
желал ему наиболее доброго,  
кьяро:  
никто иной, как один италиец

3

дитя рубикона,  
слегка надтреснутый, но довольно прелестный уличный дискант,  
прелестный,  
а говоря как в гондоле, так просто челесте,  
он в юности,  
странствуя из вагантов в зингеры, переехал рейн  
и со стражей,  
сначала с третьей, потом с четвертой,  
стражей этих стремнин, излук,  
с волшебными сердцу латниками с глазами цвета анжуйского серого,  
целовал его, озорное, в дежурной рюмочной:  
балабонил, изображал живые картины,  
пел вокализы и арии,  
а на заре,  
озирая окрестности,  
ощутил германию как гармонию,  
и поселился на эльбе,  
и стал гармонии доктор гонорис кауза , и зажигал балы, и завел себе мажордома,  
но так как в известной сфере удачлив не был,  
то часто впадал в минор,  
и его объявление уведомляло

4

один италиец,  
улыбчивый средних лет холостяк,  
завяжет возвышенные отношения с добропорядочной,  
предпочтительно в теле,  
хотя опасается, что настоящим опытом таковых едва ли располагает,  
ибо лета напролет только то лишь и делал, что без конца музыцировал:  
на клавикорде,  
на струнных,  
служил дирижером,  
выпустил несколько фолиантов изысканных композиций:  
спросить в нотной лавке, что возле консерватории,  
там как раз распродажа,  
и там же оставить письмо для маэстро сканделло

5

и были эпистолы, рандеву,  
и одни возвышенные отношения сменялись другими,  
но здесь  
речь заходит о том, что не далее как однажды к нему подошли и спросили:  
коллега,  
где правильнее сочинять изысканные композиции и вообще изящное,  
и возражал им:  
изящное, чтоб вы знали, обязано быть виртуозно,  
и сочинять его правильнее в вертоградах,  
причем, в предрассветных,  
во всяком случае, мне,  
и, кстати, касаться его аспектов тоже,  
как мысленно, так и устно

6

и молвил:  
в сугубой темени там бывает трепетно чуть ли не до мурашек,  
особенно в тех жантильных киосках, которые в некоторых краях называют газибо,  
особенно если касаться и сочинять не соло, а более или менее на голоса,  
попробуйте,  
только не забывайте выказывать им почтение,  
а то расстроятся и умолкнут

7

и удивились:  
да что же тут, извините, правильного, если настолько трепетно,  
и отвечал им, завистливым и боязливым:  
где трепетней, там виртуозней

8

иначе подумать, раз так,  
то не выйти ли, точно в какой-нибудь из его канцони,  
канцони а#769;лла наплетана чудных,  
попутно оную напевая молча:  
ла-ла-ла-ла , мол,  
не вышагнуть ли, доннерветтер, ин ден гелибтен гартен

9

и хоть и не сразу, не тотчас,  
не прежде, нежели что-то накинув, чем что-то там застегнув,  
чем зачем-то пощелкав щеколдой или прищепкой,  
что отчего-то всегда лежала и вечно будет лежать все на той же тумбочке,  
но в конце-то концов, в пресловутом сухом остатке,  
ведь вышагнуть же, разве нет,

и сомнения пусть уймутся,  
идуший тропею трепета в сторону просветленья приветствует тебя,  
внешний мрак

10

и идя, идти,  
и на самом пороге газибо назвать себя, изложить цель явления:  
зашел, мол, коснуться кое-каких аспектов изящного и вообще побеседовать,  
а почему сюда,  
потому, что нигде помимо, куда ни кинь,  
в данном случае взор рассудка, куда ты его ни брось,  
только тут вот касаться таких вещей столь уместно,  
поскольку тут их касаться уместно, вы даже сами не знаете, до чего,  
и войдя туда, быть там, и се:  
беседовать и касаться

11

причем негромко,  
шуметь однозначно не следует, вы согласны,  
естественно, господин,  
в этом жанре общаются тихим лепетом, бормотом,  
и еще:  
не корите за дерзость сюжетного трюка,  
ведь я возник здесь не только и даже не столько как трубадур,  
сколько вестник,  
возник сообщить, что в раздольях присущей нам ойкумены струится речь,  
на которой наш с вами театр,  
эта то есть беседка, этот киоск,  
превосходно рифмуется с полосатым копытным полуденных стран

12

безучастно:  
что-что, копытным,  
одушевленно:  
вы не ослышались, сэр, копытным,  
пусть, может быть, и не парно, пусть,  
зато, как вскричал бы один профессор, какая гармония, вслушайтесь:  
зибра — газибо,  
газибо — зибра,  
что верно то верно, гармония первый сорт,  
словно в лучших домах акрополя при гражданине перикле,  
и в сторону:  
образно бормоча, не гармония, а целая фисгармония,  
хор, сардонически похохатывая и тоже в сторону:  
если не полная филармония,  
не сплошная филумения,

не филинология а ту при

13

а впрочем, знаете что,  
а не знаете — знайте:  
что это созвучие, точно так же как то наречье и вся та публика, что на нем изъясняется,  
и пространство, где публика та проживает,  
тут, видимо, ни при чем,  
ибо все они в настоящей вещи по сути не фигурируют, не играют ни роли,  
ах вот как, тем, собственно, даже лучше,  
давайте же в данной связи уподобим их четверем виртуальным эфемеридам,  
что промелькнули в уме трубадура, дабы лишь обозначить свое неучастие в нашей драме,  
давайте, чего там, какие проблемы,  
и, уподобив,  
посмотрим им вслед и забудем,  
забудем и сразу заметим:  
как вызвездило, не так ли,  
не беспокойтесь, вернее, не ваше дело,  
как вызвездило так и вызвездило

14

не забывайтесь,  
мы здесь для того, чтобы заниматься сравнительным созерцанием,  
это серьезный коллоквиум,  
вас пригласили на роль спеца по вопросам неба,  
но вместо того, чтобы соответствовать, вы манкируете и дерзите,  
мы призываем вас поделиться взглядом,  
да, объективно вызвездило,  
но как видится это явление субъективно,  
приватно вам

15

так, что просто не верится,  
вы звучите обще, излагайте детальней, детализированней,  
извольте:  
над нашим садом вызвездило хоть куда, как когда-то,  
когда вы еще не нуждались ни в пенсии, ни в пенсне,  
и спесивицы ваших лестниц и улиц носили такие танкетки, такие фуфайки, тужурки,  
в карманах же — письма с неволи, да алкоголи,  
да курево, да ножи,  
и в погожие ночи,  
откидываясь в рисковом па безутешного фадю,  
шептали, что вызвездило на ять

16

лепеча короче,  
над садом,  
над этим всеобщим садом, где сызнава местоимеет наша беседа,  
над вертоградом нас, голосов,  
там, смею заметить, вызвездило именно так:  
как шепталось

17

и после паузы,  
что своєю изысканностью напоминает цезуру из музыки виртуоза:  
а вам не желалось бы в этой связи побеседовать об изящном,  
изящном в том славном плане,  
в котором столь пламенел о нем удалой бутатеус

18

бродячий мыслитель, бунтарь, трубочист,  
он трубил о нем с кровель и трубадурил с карнизов,  
он вдохновенно стучался в любые двери  
и, наконец, отмечает биограф, достукался:  
светлого, млечного тебе пути, очарованный мыкарь,  
усекновенный властями по поводу лунатизма и бреда искусством

19

с последнего, если никто не против, как раз и начнем,  
вы, надеюсь, участвуете,  
с моим удовольствием,  
только какое искусство вас, в сущности, беспокоит,  
причем настолько, что вы предложили о нем побеседовать до того внезапно,  
что не успели даже представиться,  
что, конечно же, выдает в вас натуру высокой пылкости,  
но вынуждает желать вам чуть более плавных манер,  
виноват покорно, я нынче же назову себя,  
называйте, а я — себя

20

называют, знакомятся,  
слышен звук, наводящий на мысль, что откупорили,  
ваше здоровье,  
аналогично,  
выпив, разом пьянеют и продолжают пить:  
за встречу,  
за цвет акаций и ассигнаций,  
за вежливость между народами,

за благополучие их величеств,  
берите шире: за все замечательное и изящное,  
в том числе за искусство,  
в котором опять же все, точно в правильном чеховском человеке,  
обязано быть припудрено и приятно

21

а лично вам,  
вы о чем, что — мне,  
вам лично приятно,  
в каком отношении,  
в отношении познакомиться,  
вы меня удивляете, странный подход,  
мне не просто приятно,  
мне познакомиться просто прекрасно,  
взаимно,  
вот видите, до чего мы совпали,  
возможно, что в самом ближайшем мы не на шутку подружимся,  
и поэтому мне тем более не хотелось бы,  
чтобы вы думали, что недостаточность ваших манер меня сколько-то покорила  
и что я согласился беседовать только из вежливости,  
лишь бы не огорчить вас отказом,  
нет-нет, у меня не возникло к вам никакого фи,  
и беседовать я согласился без всяких там задних или побочных мыслей,  
единственно из любви к предмету,  
ид эст — все к тому же искусству

22

сморкается

23

и если мне удалось убедить вас,  
то нам остается лишь уточнить программу,  
лишь выверить вектор, курс дискурса,  
то есть давайте же, наконец, отрешимся,  
вернее, решимся на нечто определенное,  
а еще вернее, решим,  
о каком, в самом деле, искусстве мы станем тут все беседовать,  
о каком конкретно

24

рассудим чисто логически, по-лобачевски:  
раз вызвездило, значит, ясно:  
из всех искусств нам здесь лучше всего коснуться искусства бухгалтерского учета,

почту за честь,  
но касаясь искусства учета, нельзя не затронуть вопрос  
об искусстве простого перечисления,  
говорите отчетливей, вы невнятны

25

я говорю о том, что успешный учет вещей иль существ  
невозможен без тщательного перечисления таковых,  
и желающий произвести его грамотным образом, вносит наименования их в реестр, или  
перечень,  
и тем самым их вольно или невольно перечисляет:  
мол, то-то и то-то

26

и тот учетчик, что составляет перечень на добротной бумаге,  
отчеркивает поля, соблюдает отступы,  
нумерует графы и вносит в них сведения о единицах учета сколь можно тщательней,  
поступает как следует, как надлежит

27

и, желая ободрить, вы говорите ему при случае:  
я ценю ваши перечни,  
часто их перечитываю,  
мне мыслится, что они отвечают всем нормам учетной практики,  
вы поразительно скрупулезны,  
благодарю вас

28

и, горд, но скромн, заметит:  
стараемся, надо, иначе — край,  
не случайно ведь где-нибудь напечатано, что учитывать так учитывать

29

и резонно подумается:  
это, наверное, напечатано там же, где напечатано: перечислять так перечислять,  
потому что перечисление — мать учета,  
оно же — сестра всех на свете работников арифметики высшей

30

вот, если не заняты, повесть о том из них,

кто, в неброских подтяжках и будто ни в чем не бывало,  
будто не чувствуя, что еще немного и наше уютное ныне отхлынет, минуется,  
и прихлынет ныне ненастное и чужое и без особых утех,  
смело служит в отделе пособий разных,  
смело, но тихо,  
служит, да не выслуживается,  
и величия ни себе, ни своей отваге не придает,  
только изредка вспомнит и улыбнется в душе своей:  
я — арифметик

31

по слову квартальной характеристики, учреждению предан:  
являясь обыкновенно затемно и при этом — специалистом гибкого профиля,  
он де-юре работает как арифметик,  
де-факто же больше занят то в роли инспектора, то кассира, то, казначея,  
то, наконец, бухгалтера,  
засиживается допоздна, покидает отдел последним и, уходя,  
неукоснительно гасит свет:  
тут и там,  
там и сям

32

остается гореть только лампа наружного озарения,  
это ее, укрепленную на фасаде,  
подчас называют контрольной,  
это она, как сказал бы один зритель,  
выхватывает из мрака входную дверь

33

зритель случайный, прохожий,  
притом далеко не здешний,  
заезжий из области истинной нежности, с берегов оясио,  
возможно, тот самый, что прежде был лучшим из осветителей на театре но ,  
но как-то,  
любуюсь огарком китайской спички,  
сам испытал дунь-у ,  
впал в у-вей  
и устроился обыкновенным зрителем из окна в клубе го

34

и сказал бы:  
выхватывает, как полагается, не жалея кандел,  
из мрака, сказал бы,  
из полного внешнего мрака,

иже нам ни за что не измерить и не постичь,  
сказал бы кому-нибудь тоже случайному,  
встречному или попутному,  
если б не ведал, что изреченное не сравнить с утаенным,  
с умолчанным

35

так что учтите,  
это она, контрольная лампа,  
выхватывает входную дверь, на которой висит расписание выдач,  
из коего следует, что по вторым средам и четвертым пятницам  
пособие выдают справедливым вдовам,  
и вы, разумеется, понимаете, почему их так называют,  
мы понимаем:  
их называют так потому, что мужья их не возвратились со справедливых войн,  
ибо пали на их полях смертью хрупких

36

к несчастью, пособие невелико,  
и порою, расписываясь в получении,  
одна из тех женщин вдруг огорчается и говорит арифметику в роли кассира,  
что хочет спросить,  
неужели действительно нет никакой возможности ей пособие увеличить

37

кассир же:  
спросите инспектора,  
а инспектор:  
пройдите к бухгалтеру,  
а бухгалтер:  
узнайте у казначея,  
а тот:  
потолкуйте-ка, женщина, с арифметиком

38

арифметик же,  
в прошлой жизни морской цыган и вообще немного романтик,  
толкует в том смысле, что справедливые войны случаются слишком часто,  
число справедливых вдов все растет,  
и возможности увеличить им всем пособие нет ни малейшей,  
а увеличить пособие только одной или несколькими справедливым вдовам  
было бы несправедливо по отношению к остальным

39

но при этом он же  
считает, что унывать ни за что не следует,  
следует не унывать, а как раз напротив:  
а уповать, эсперар :  
эсперанто зубрил он в бузуки-барах пирея,  
в тратториях таормины и римини,  
в тангериях ла-платы

40

и учит:  
во дни своих треволнений с надеждой не расставайтесь,  
питайте ее, лелейте  
и наподобие ласточки, что из глины лепит себе жильё,  
точно так,  
неуклонно,  
лепите мечту о том, как с течением времени времена изменятся, похорошеют,  
их будет совсем не узнать,  
и поскольку число справедливых войн, а значит и вдов, сократится,  
постольку забот убавится,  
у казначейства откроется очередное дыхание,  
и за счет сэкономленных средств  
все пособия навсегда увеличат

41

и женщина не расстается с надеждой,  
надежду она питает, лелеет, надежду она хранит и мечту свою лепит,  
и если спрашивают о здоровье,  
то возражает, что чувствует себя много лучше, чем, может быть, кажется,  
а точнее, так,  
словно вовсе и не вдова она,  
не вдова, а едва ли не как бы птица,  
пусть, знаете ли, не совсем проворная,  
с несуразной походкой, с нескладной судьбой,  
ничего, не кручиньтесь, поскольку ведь все-таки птица, птица,  
необъяснимая птица

42

но чу,  
как-то раз, как-то вдруг,  
где-то между второю средой и четвертой пятницей наступает иное ныне:  
пространство, что медитировало в стиле барокко,  
переключается на сирокко:  
все делается размытым, смутным и будто б необязательным,  
и когда приблизительно та же вдова посещает примерно тот же отдел,

тот же самый сравнительно арифметик уведомляет ее, что с тех пор,  
как она заходила сюда в прошлый раз,  
времена изменились;  
присядьте

43

они изменились, но отчего-то ничуть не к лучшему,  
и те войны,  
что ранее полагали вполне справедливыми,  
полагают теперь справедливыми не вполне,  
и вдов,  
незадачливые мужья которых с тех войн не вернулись,  
их, к сожалению, тоже,  
и оттого им пособие не увеличили, а уменьшили,  
и отныне надежду на то, что однажды его увеличат,  
не следует ни питать, ни лелеять,  
а следует с ней расстаться, проститься, оставить ее в покое  
и жить без нее, как получится

44

и женщина расстается с надеждой,  
прощается с ней навсегда  
и мечту ни о чем уж не лепит,  
и если спрашивают о здоровье,  
печалуется, что немного недомогает и как-то не узнает себя в зеркале,  
видимо, что-то не так с лицом,  
да и в целом, признаться, уже не та

45

а если ей молвят:  
помилуйте, не вечер ли вы были та самая, самая что ни есть,  
откуда такое упадничество,  
неверие, если хотите, в путь и образ,  
вам следует походить к нам в собрание на кружок по дао,  
а что, почему бы и нет,  
мы выписываем наставников из самой поднебесной:  
отшельники, в основном, старичье, но они бы наверняка укрепили,  
решайтесь, вам выдадут сезонный абонемент,  
то женщина:  
не смешите, что проку мне в этом их поднебесье,  
когда я больше не птица

46

а кто же,

а женщина: о-ля-ля,  
кто бы думал, что вы до того сохранились, что все еще мучаетесь минусом, а не плюсом,  
а где же ваши хваленые окуляры, в смысле, пенсне, мсье,  
миль пардон за издевку, но нацепите да и прозреете,  
не тушуйтесь, оно вам, наверное, до сих пор к лицу,  
когда-то вы в нем навевали мне одного знакомца из области первых радостей,  
ранних, неизгладимых встреч,  
а может, это нисколько не любопытно,  
да нет, отчего ж,  
не лукавьте, мои треволнения вас совершенно не трогают,  
вы, как и прежде, печетесь лишь о своих

47

но все-таки вообразите: зоолог,  
светило отечественного живосечения,  
вивисектор, как говорят, божьей милостью,  
попечитель различных зверинцев, кунсткамер, приват-доцент,  
стал славен открытыми опытами на бонобо,  
проказники, право, баловники, но зато какие шармантные,  
те же, по сути дела, мартышки, только куда солидней,  
да, вобщем-то, он и сам импозант был антик муар на полное загляденье,  
а остроум,  
а танцор,  
а как плавно он мелодировал на трианголо,  
а на всяких других инструментах

48

а отчего вы молчите,  
зачем не спрашиваете, как мы сошлись,  
неужели действительно безынтересно,  
а может, вы просто изображаете безразличье,  
хотите, чтоб я еще больше забылась и мимовольно доверила вам все тайны,  
не исключая самых нескромных, притвора вы этакий

49

мы познакомились как-то случайно, целуясь,  
удачней выразиться, по случаю целования в храме,  
после пасхальной всенощной,  
поцеловались, смутились оба, и смех и грех, будто дети,  
и почему-то сразу отправились в номера,  
сразу, мигом,  
в пролетке, правда, еще робели, миндальничали,  
а едва домчались,  
я даже и сообразить ничего не успела,  
и верите ли:  
прямо-таки до зари, до птах,

стали, значит, хорошие мы приятели,  
задружили, заездили с ним возлюбленной парой по всяким салонам, в балет,  
зачастили на спиритические сеансы, рысистые испытанья, собачьи выставки,  
и повсюду его узнавали, хвалили,  
езде ему аплодировали,  
студизусы восклицали: виват приват,  
дамы строили куры, презентовали одеколоны, локоны, молнировали бийе-ду ,  
я, кстати, не нервничала нисколько,  
еще чего,  
много было бы им всем чести, мерзавкам,  
да ведь и повода не имелось

50

а накануне троицы  
некоторые приходят и говорят, что не больно-то он мне верен,  
делит, дескать, восторги где-то на стороне,  
а я им:  
не говорите низостей, мы до первых птах неизменно вместе,  
они же:  
не говорим: до птах, говорим: от птах и до позднего фриштыха,  
если не до острожной пищали, которая, сами знаете, что кукует

51

а я:  
в номерах ли,  
а мне:  
что вы, милочка, разве с такими барышнями в номера дозволит,  
они ж у него бонобки, как ни верти,  
так что в вивариях, мисс, бедокурят, в вивариях,  
говорят, а сами паясничают, обезьянят

52

а после, на лестнице уже,  
оглянулись и, вроде бы, утешают:  
не огорчайтесь, мол, слишком, спасибо, хоть не с гориллами у него эти опыты:  
те жуть ведь какие лохматые, в колтунах все,  
блех, верно, не оберешься,  
небось, и не вычесать ни за что,  
а бонобки как бы почище, поблагородней будут,  
дворянки, можно сказать

53

и я ему написала:  
прощайте и не ищите, как вы могли,

но когда его упекли в дом скорби и в городском листке обозвали приват-приматом,  
то вся извелась, истомилась в молениях,  
и как раз в те дни  
налетели какие-то цепеллины,  
затулумбасили бомбы,  
выяснилось, что война,  
стало много военных:  
шагают, шутят,  
и мне один офицер показался и сей же миг оказался моим зоологом:  
мобилизация, знаете ли, указ, приказ,  
обязывают, как видите, даже вполне убогих,  
вам, может быть, невдомек,  
но из нашего полоумного брата, умеющего некоторое до-ре-ми,  
формируют свежие музыкальные батальоны,  
что, впрочем, и справедливо: ведь старые чрезвычайно потрепаны

54

лично меня забрили по классу бубна,  
бубнил рядовым в обозе, но быстро произвели, поздравьте:  
стал гвардии фэгот-а-пистон,  
числюсь в штабе губных императорских гармонистов,  
вот, видите, какие узорчатые позументы, разве не прелесть,  
однако не обессудьте,  
час более или менее пробил:  
мы все убываем теперь на линию, в оркестровую яму траншеи,  
в ансамбль, если вдуматься, похоронной песни и свистопляски

55

а опыты,  
кто продолжит ценнейшие ваши опыты,  
опытов больше не будет, бонобо эвакуировали восвояси,  
там дивно, полуденно,  
а меж тем у нас, в нашем с вами продроглом здесь  
все настолько безбожно скулемано, блекло,  
а до чего бесприютно,  
а упования прямо призрачны,  
а поскольку по всем категориям истинно одинок,  
то почел бы за беспримерную милость быть вами хоть несколько ожидаем

56

и тут как задует, завьюжит,  
ресницы мне снегом буквально склеило,  
нам положительно следовало незамедлительно поспешить,  
укрыться в достаточно теплом зданьи:  
бежим,  
забежали в какую-то церковь,

затешили две свечи,  
почитали из часослова,  
нас наскоро повенчали,  
и, убывая в расположение согласно распоряжению,  
сулил мне супруг мой, что ни за что не сгинет, не пропадет,  
что вернется в должности тамбурмажора

57

а возвратили мне только его пенсне в специальном пакете со штампом хрупко,  
да все равно ведь растрескалось:  
растрясли в колесницах своих залетных, автомедонты треклятые,  
так нацепите же, нацепите его, то есть ваше,  
сделайте мне немножечко дежавю, уж уважьте,  
я буду вам крайне признательна,  
что,  
все никак не отыщете,  
не при вас,  
обронили в дозоре,  
не сочиняйте, к чему кривить,  
чай, оставили впопыхах у какой-нибудь демимонденки

58

тогда подойдите ближе, вплотную,  
тогда загляните мне прямо в них,  
в эти некогда вам ненаглядные,  
в эти,  
как вы без конца уверяли,  
мои изумительные изумруды,  
нисколько не выцвели, правда же,  
только у них теперь совершенно иное строение, рассмотрите,  
они словно слеплены из долей помпельмуса или цитрона,  
зоологи называют такие очи фасеточными,  
так что какая уж я там птица,  
когда я самая настоящая и никому в целом свете не нужная муха-зеленоглазка,  
и сразу уходит,  
уходит весьма мгновенно,  
и точка

59

сколь все это внятно и подлинно, мой капитан,  
особенно в плане мгновенности,  
потому что так именно многое и минует:  
истинным, я бы сказал, моменталом, махом:  
тут сразу уйдет,  
там сразу исчезнет,  
начнет отсутствовать и фактически не прекратит:

то ли, се ли, субъект, объект,  
некоторое обстоятельство, свойство, отрезок континиума,  
отхваченная на скаку конечность, кусок, не угодно ль, судьбы,  
скажем, целая младость

60

и ладно, ежели отвлеченная, чья-то,  
эдакого никуда не годящегося имярека,  
да, может быть, и в чинах,  
но служил-то, наверное, нерадиво, сражался не окрыленно,  
ранений, равно отличий, не приобрел, от дуэлей отлынивал,  
и невольно в таком варианте спрашивается,  
невольно, но деликатно, словно бы вскользь:  
а достойно ль,  
логично ли нечто подобное для кадрового офицера,  
кларо ке но, ке нунка,  
вот пусть и сопливит теперь за это в слюнявчик с кружавчиками,  
жалеть, а тем более соболезнавать проку нету и в скором не ожидаем:  
скукожился и поделом

61

ну-с, а если как раз не чья-то, а вицэ вэrsa ,  
если едва ли не беспричинно исчезла,  
запропастилась младость сугубо личного пользования,  
она же — особого назначения,  
худо-бедно овеванная, что поется, глорией перипетий боевых плюс амурных,  
младость лихая да хваткая, смачная да неистовая,  
словом, конкретно ваша,  
то что же, спрашивается, тогда

62

а тогда получается крайне скверно,  
хоть плачь, хоть вскачь,  
и закусишь, закусишь ты удила свои, сивый уд,  
и при всем к себе искреннем респектансе,  
как только его же не уязвишь,  
удрученный

63

то есть, казалось бы, ну так что ж, если так,  
исчезай, истаивай, улетучивайся на все четыре и то, и се,  
свет ли клином, где наша не унывала,  
безо всего без этого, может, и проще, вольней,  
ан не тут-то, не больно-то,

ибо куда ни кинь,  
то и се улетучивается лишь из поля внешнего созерцанья,  
однако же не из внутренннего, не из памяти,  
не из комка, извините за взвинченность, дряблых нервов

64

короче, кричите писаря и диктуйте пропало,  
по поводу то бишь участи неких нас, которые до поры очезримы,  
имея в виду, что означенные выше сути уходят в уютную ту юдоль только с тем,  
чтобы в некотором пониманьи остаться:  
остаться в наших сплетениях и паучить, и угрызать, щемить,  
корчить отчаянием бессрочно

65

так что, как видите, я вас слышу, вы не один,  
я тоже умею читать ветер грусти, милостивый голубарь,  
и касательно той мгновенно ушедшей, сгинувшей вдруг вдовы  
отчетливо все понимаю и смею думать, что ваша о ней элегия,  
если это, конечно, элегия,  
а это, конечно элегия, хоть и без рифм,  
а если все-таки не элегия, ничего, нет так нет,  
ибо всякое сочинение можно именовать просто вещью,  
и эта вот ваша вещь, эта, если удобней, штука  
ужасно будит,  
точней, будоражит во мне все былое,  
все фибры

66

но купно с тем,  
в то же самое то, которое знай себе вкрадчиво так да тик,  
представляется очень изящной,  
и надо ли добавлять, что тонкой,  
тонкой и даже немного призрачной,  
будто бесценная венецианская склянка, клянусь вам,  
которая на свету вся буквально переливается и лучится,  
а что без рифм,  
не берите в голову:  
рифмоплетство, за вычетом разве стихотворения на случай,  
нам все равно не по выслуге, да и вообще от лукавого

67

итога,  
должено как положено, капитан мой,  
и с подлинным и с подлунным все совершенно искренно,

только сквозит впечатление, что в объявленной вами точке  
есть некое, я бы сказал, запятайство

68

вы правы, полковник,  
история данной дамы закончена не вполне,  
да не посмолить ли,  
боснийские, не премину, дым что лекари прописали,  
так слушайте:  
где-то все в тех же числах наш сводный полукавалерийский оркестр  
получил приказ перейти на стеганое и отойти на другие позиции,  
мы немедленно зачехлились и выступили британским маневром:  
ни с кем не простясь,  
а поскольку почтовые части, простите за кводлибет,  
частью были уже разбиты, а частью расформированны,  
я затем не имел о ней никаких известий

69

и тем не менее мне регулярно снится,  
что то же, что стало с той несчастливой вдовой, случилось с моей:  
вышло, якобы, так, что она до того огорчилась невзгодами,  
что обернулась реальной мухой,  
и муха эта, считайте — моя вдова,  
по причине всечасных баталий не навещаема вашим покорным уж много лет,  
прилетает в отдел пособий и, будто кому-то в пику,  
на стеклах ламп, стеклах окон, на линзах очков человеческих  
все какую-то сарабанду пляшет

70

и что любопытно:  
что первый раз то видение было мне накануне нашего злополучного рейда:  
вещий, по трезвому разуменью, сон,  
но тогда он представился мне не более, чем химеризмом,  
ведь кроме, как говорится, записи в книге венчаний,  
нас с нею связывала взаимность такого свойства,  
что было бы просто смешно подумать, что что-то там  
может нас по-настоящему разлучить, в смысле, надолго,  
а уж навсегда и совсем курьезно

71

и все ж таки из-за этой мухи,  
из-за ее непотребной пляски  
мне сделалось за жену и за нашу с ней будущность страшно не по себе:  
я проснулся, хотел успокоиться экзерсисами:

не сбылось:  
гварнери мой явственно не в духах, не строит:  
должно быть, денщик говорит, от сырости,  
местность-то, дескать, во мгле вся

72

признаться, я не сторонник поздних гуляний, тем более кавалькад,  
ну их, право,  
в конце концов ночью, даже на самой потешной войне, лучше спать, чем куражиться,  
только что ж мне при этакой-то бессоннице  
и во избежание пущей скорби тут было делать, как не будить дударей:  
друзи, ангелы,  
отчего бы нам этой тусклой порой не проехать верхами вдоль укреплений противника  
и концертом щемящей музыки оно не умилишь,  
и:  
марш-марш заливными некошенными,  
марш-марш

73

и покуда, наявивая радецкого, копытили долом,  
все обстояло тре бьен ,  
но едва поскакали увалами и заиграли на память элизе,  
подумать, той самой элизе, чья галльская бабка  
сначала была приятельницей лакайля, потом клеро,  
а после и молодому лаланду голову задурила,  
что говорить, неровно дышала мамзель к звездочетам,  
так значит, едва заиграли элизе,  
туман исчез,  
и ночь получилась такая лунная,  
словно шопеновский си-минорный нахтштюк ,  
опус, если не ошибаюсь, двадцать какой-то,  
и кончено:  
нас обнаружили и:  
шрапнелью, шрапнелью,  
причем беспощадно, бесцеремонно,  
вы помните, старина фагот, нашу нелепую гибель

74

йаволь , капитан,  
только что есть нелепость в сравнении с музыкантской бравостью,  
каковую мы несомненно явили,  
мы все, начиная с вас и отсчитывая от той минуты,  
когда, гарцуя перед штабной палаткой, вы задушевно воззвали к нам: шестикрылые,  
порысили с богом,  
и первый же порысили, трубя

75

и, трубя,  
мы порысили вослед,  
мы рысили и мелодировали во имя отчизны,  
за более благородные времена и изящные нравы,  
и все это оказалось настолько доблестно,  
что, пожалуй, почти не жаль,  
что и вас, и нас  
паче всякого чаяния  
эдак изрешетило

76

увы, господа,  
смерть на линии иногда неприглядна,  
но я обязан напомнить, что войны наши,  
что б там ни бубнили штафирки от бухгалтерии, истинно справедливы,  
а главное, обустроены столь гуманно, что, пав,  
мы, как словно бы некие фениксы, возрождаемся к вита нуова ,  
для новых битв

77

к примеру, после этого казуса со шрапнелью  
мне сызнова снился тот несуразный сон,  
и, ища убежать уныния,  
я поспешно очнулся, стремительно оценил обстановку и тут же отдал приказ:  
с якорей сниматься,  
курс — внешний рейд,  
галион неприятеля к абордажу принудить

78

однако едва мы оставили гавань,  
каналы открыли шквальный огонь,  
и разрывом снаряда нам сразу снесло капитанский мостик,  
а лично меня, капитана отнюдь не третьего ранга,  
а если без лишней скромности, то к тому моменту  
давно уже никакого не капитана, а самого настоящего адмирала,  
меня подкинуло в птичью высь и всего при этом  
не то чтобы расчленило:  
меня разъяло на мелкие дребезги, на микробы,  
точней, не всего, а по большей части,  
всего за вычетом головы:  
та,  
я видел это каким-то сторонним зрением,  
та,

дико моргая и морщась, верно, от боли,  
та покатила по полубаку и выпала, бедолага, за борт:  
ну не конфуз ли

79

и снова мне то видение:  
будто вдова моя, моя муха-мухер , крылья в мерзкую крапину,  
все на стеклах того ли отдела пособий то сарабанду, то тарантеллу танцует,  
а что ж арифметик,  
а арифметику хоть бы что,  
ибо что ему, в сущности, если начистоту:  
счеты — в руки,  
и вот уже это не счеты, а род маракас,  
и асса, слышится, асса, ай-да-нэ-нэ,  
потому что, как точно подмечено где-то у лаперуза,  
морские цыганы, которых иные народы в запальчивости  
зовут флибустьерами и арифметиками фортуны,  
народ плясовой да ласковый, да сердечный,  
и бубны сердца их суть, чистые бубны,  
когда не червы

80

это подмечено у него в записках на запасном фор-бом-брамселе ,  
что стоят на столе арифметика обок с гроссбухом  
и руководством как стать настоящим учетчиком ,  
где говорится, что стать настоящим учетчиком может лишь тот,  
кто, учитывая существа и вещи,  
их тщательно перечисляет

81

пауза

82

голосами людей, тонко чувствующих красоту момента:  
смотрите,  
конец цитаты совпал с окончанием темноты,  
забрезжило,  
быстро светает,  
и параллельно становится ясно, что об искусстве  
и об изящном вообще  
уж сказано совершенно довольно,  
во всяком случае тут, в нашем гулком многоголосом саду,  
в этом изысканно обветшалом газибо

83

позвольте ж откланяться,  
как восклицают за одером, чешч ,  
погодите, вы разве и к нам захаживали, пан матафий,  
бродил, ваша милость, бродил, заодно и мову освоил,  
звучите просто перфектно, усердие, полагаю, имеете, увлечены,  
хоть, казалось бы, что вам, вольному левантийцу, в абракадабре нашей славянской,  
а как же, сударь,  
желаешь скитаться по-человечески,  
чтобы заботу и уваженье тебе оказывали, знай языки:  
безъязыкому в горнице не постелят

84

признаться, немного завидую:  
вы ведь изгнанник без всяких границ,  
а мне  
столько лет уж в отечество путь заказан,  
и, знаете, словно бы затуманивается оно все больше,  
нет четкого разумения, что там теперь да как,  
не тревожьтесь, за одером как за одером, пан огиньский,  
сиречь, в аккурат, как за бугом:  
нивы, с вашего позволенья, печальные, шляхи пыльные,  
но зато какая пылкая шляхта,  
да и мещанство, в сущности, лихорадит:  
у всех воспаление польскости, посполитость речи,  
причем, все куда-то спешат, поминутно встречаются, расстаются  
и только и слышишь повсюду:  
чешч, чешч

85

а вот где-нибудь за печорой,  
где сплошь да рядом спешить как-то некуда,  
выражаются много длиннее, почтительней:  
честь, знаете ли, имею ,  
за рубиконом же, в области поголовной халатности,  
вам на прощание если что и уронят, то лишь развязное чао ,  
и баста, и будьте себе довольны

86

итак, до свиданья,  
всего вам самого удивительного,  
возникайте в любое удобное, побормочем,  
учтите только, что договор от одиннадцатого одиннадцатого тысяча сто одиннадцатого,  
заключенный меж трубадурами и вертоградями в лице голосов их,

все еще действует,  
все еще говорит к нам своим куртуазным верлибром

87

он говорит и касается всех нас,  
которые суть голоса вышеназванных тех и этих  
и легиона иных,  
одержимых и призванных, очарованных и окрыленных,  
а также и муз их, и музык, и музыкальных их инструментов,  
и прочих,  
коих не хватит вечности перечислить, существ и вещей

88

он касается нас, говоря об изящном,  
касается и в конце последней, тысяча сто одиннадцатой песни своей,  
шопотом напоминает:  
ну, значит, договорились:  
отныне от утренних сумерек и до первых звезд  
об изящном — ни звука.

## Иосиф Бродский

### Об авторе:

#### Джон Глэд -- Иосиф Бродский

*Д. Г. У вас столько брали интервью, что я боюсь, что мне не избежать повторений.*

*И. Б. Ничего, не бойтесь...*

*Д. Г. А с другой стороны не хочется упустить что-то важное. Евгений Рейн, по вашим словам, однажды посоветовал вам свести к минимуму употребление прилагательных и делать упор на существительные, даже если глаголы пострадают при этом. Вы следуете этому совету?*

*И. Б. Да, более или менее. Можно сказать, что это один из наиболее ценных советов, которые я когда-либо получал. Не помню, что он сказал дословно, но мысль была примерно следующая: стихотворение должно состоять из существительных, количество прилагательных следует свести к минимуму. Например, если стихотворение положить на некую магическую скатерть, которая убирает прилагательные, то все равно останется достаточно черных мест. Глаголы еще туда-сюда, еще могут иметь место, но прилагательных должно быть как можно меньше...*

*Вообще у этого человека я научился массе вещей. Он научил меня почти всему, что я знал, по крайней мере, на начальном этапе. Думаю, что он сказал исключительное влияние на все, что я сочинял в то время. Это был, вообще, единственный человек на земле, с чьим мнением я более или менее считался и считаюсь по сей день. Если у меня был когда-нибудь мэтр, то таким мэтром был он.*

*Д. Г. В предисловии к прозе Цветаевой вы пишете, что мышление любого литератора иерархично. В чем ваша поэтическая иерархия?*

*И. Б. Ну, прежде всего речь идет о ценностях, хотя и не только о ценностях. Дело в том, что каждый литератор в течение жизни постоянно меняет свои оценки. В его сознании существует как бы табель о рангах, скажем, тот-то внизу, а тот-то наверху...*

*Д. Г. Поэты наверху, прозаики внизу?*

*И. Б. Ну, это само собой, но то, что я имел в виду, на самом деле относится к тем авторам, кого ты любишь, кого ценишь, кто тебе дороже, или важнее, или ближе. В первую очередь это и относится к определенной шкале ценностей. И эта шкала ценностей, действительно, вертикальная шкала, не правда ли? Вообще, как мне представляется, литератор, по крайней мере, я (единственный, о ком я могу говорить) выстраивает эту шкалу по следующим соображениям: тот или иной автор, та или иная идея важнее для него, чем другой автор или другая идея, -- просто потому, что этот автор вбирает в себя предыдущих. То же самое происходит и с идеей, которая вместе с тем предлагает и какие-то новые, последующие идеи. Да и, вообще, сознание человека иерархично. Всякий, кто воспитан в лоне какой бы то ни было идеологии или каких-то принципов, выстраивает лестницу, наверху которой либо царь, либо бог, либо начальник, либо идея, которая играет роль начальника.*

*Д. Г. А темы тоже иерархичны?*

*И. Б. Ну, темы -- нет, безусловно -- нет!*

*Д. Г. В том же предисловии вы пишете, я цитирую: "В конечном счете каждый литератор стремится к одному и тому же: настигнуть или удержать утраченное или текущее время".*

*И. Б. Ну, более или менее да...*

*Д. Г. Прямо из Пруста...*

*И. Б. Безусловно.*

*Д. Г. Я не знаю, верно ли это в отношении всех писателей, но что касается вас, то это так. Чем вы это объясняете?*

*И. Б. Дело в том, что то, что меня более всего интересует и всегда интересовало на свете (хотя раньше я полностью не отдавал себе в этом отчета) -- это время и тот эффект, какой оно оказывает на человека, как оно его меняет, как обтачивает, то есть это такое вот практическое время в его длительности. Это, если угодно, то, что происходит с человеком во время жизни, то, что время делает с человеком, как оно его трансформирует. С другой стороны, это всего лишь метафора того, что, вообще, время делает с пространством и с миром. Но это несколько обширная идея, которой лучше не касаться, потому что она заведет нас в дебри. Вообще, считается, что литература, как бы сказать -- о жизни, что писатель пишет о других людях, о том, что человек делает с другим человеком и т. д. В действительности это совсем не правильно, потому что на самом деле литература не о жизни, да и сама жизнь -- не о жизни, а о двух категориях, более или менее о двух: о пространстве и о времени. Ну, вот Кафка, например, -- это человек, который занимался исключительно пространством, клаустрофобическим пространством, его эффектом и т. д. А Пруст занимался, если угодно, клаустрофобической версией времени. Но это в некотором роде натяжка, можно было бы высказаться и поточнее. Во всяком случае, время для меня куда более интересная, я бы даже сказал, захватывающая категория, нежели пространство, вот, собственно, и все...*

*Д. Г. Возвращаюсь к тому же предисловию, опять цитирую: "Ее изоляция, то есть Цветаевой, изоляция не предумышленная, но вынужденная, навязанная извне логикой языка, историческими обстоятельствами, как качеством современников" ... Ведь вы же тут пишете о своей изоляции.*

*И. Б. Думаю, что не столько о своей, сколько прежде всего о ее. Это относится почти ко всякому литератору. Безусловно, я в известной степени пишу о своей изоляции -- да, собственно, что у нас общего с Цветаевой, -- это какие-то элементы биографии.*

*Д. Г. А именно?*

*И. Б. Ну, господи, пребывание на протяжении такого количества лет вне отечества и т. д. Бессмысленно говорить о том, какой поэт Цветаева, на мой взгляд, это самое*

грандиозное явление, которое вообще знала русская поэзия. И тот факт, что у нас по крайней мере эта деталь общая, почти оправдывает вообще мое существование.

Д. Г. Вы чувствуете какой-нибудь разрыв с аудиторией?

И. Б. Контакта с аудиторией, как правило, вообще не бывает; то, что воспринимается как контакт, -- это ощущение в достаточной степени фиктивное. Даже когда непосредственный контакт существует, люди всегда слышат, или читают, или вычитывают в том, что вы сочиняете, нечто исключительно свое. Контактom это не назовешь, потому что и поведение и отношение людей к произведениям литературы или, скажем, к факту присутствия писателя на сцене или на кафедре -- оно всегда в достаточной степени идиосинкратично: каждый человек воспринимает то, что он видит, сквозь свою абсолютно уникальную призму. Но когда мы говорим о контакте, то мы имеем в виду нечто менее сложное, чем то, о чем я сейчас говорю. Речь идет о реакции читательской среды, которую автор может заметить, интерпретировать и повести себя каким-то определенным образом в соответствии с этой реакцией... Безусловно, существует чисто физическое отсутствие подобной связи, подобного контакта. Но, по правде сказать, меня этот контакт никогда особенно не интересовал, потому что все творческие процессы существуют сами по себе, их цель -- не аудитория и не немедленная реакция, не контакт с публикой. Это скорее (особенно в литературе!) -- продукт языка и ваших собственных эстетических категорий, продукт того, чему язык вас научил. Что касается реакции аудитории и публики, то, конечно, приятнее, когда вам аплодируют, чем, когда вас освистывают, но я думаю, что в обоих случаях -- эта реакция неадекватна, и считаться с ней или, скажем, горевать по поводу ее отсутствия, бессмысленно. У Александра Сергеевича есть такая фраза: "Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда ведет тебя свободный ум". В общем, при всей ее романтической дикции, в этой фразе колоссальное здоровое зерно. Действительно, в конечном счете, ты сам по себе, единственный тет-а-тет, который есть у литератора, а тем более у поэта. Это -- тет-а-тет с его языком, с тем, как он этот язык слышит. Диктат языка -- это и есть то, что в просторечии именуется диктатом музы, на самом деле это не муза диктует вам, а язык, который существует у вас на определенном уровне помимо вашей воли.

Д. Г. И все это к другим писателям тоже относится?

И. Б. В известной степени это относится и к другим писателям. Писатель, как ни странно, пишет не для публики. Даже самые из них, как бы сказать, "публичные", которые занимались непосредственно животрепещущими, злободневными проблемами, -- даже они писали не потому, что хотели высказаться перед публикой, -- это был только внешний повод для их деятельности. На самом же деле выживает только то, что производит улучшение не в обществе, но в языке.

Д. Г. Роберт Сильвестр о вас написал: "В отличие от поэтов старшего поколения, созревших в то время, когда в России процветала высокая поэтическая культура, Бродский, родившийся в 1940 году, рос в период, когда русская поэзия находилась в состоянии хронического упадка и вследствие этого вынужден был прокладывать свой собственный путь". Тут два утверждения: во-первых, упадок, и второе то, что вы проложили свой собственный путь, каждый поэт это делает, но как вы смотрите на эти оба утверждения?

И. Б. Что касается упадка, то это не только упадок, -- в течение 40-50 об изысканной словесности в России всерьез вообще говорить не приходилось. Разумеется, существовали какие-то люди, которые продолжали заниматься стихосложением. Были, правда, и замечательные поэты: была жива Ахматова, был жив Пастернак, но до молодых людей вроде меня это никак не доходило. Мы совершенно не были осведомлены об их существовании -- я не был, во всяком случае. Помню, что когда тот же Рейн предложил меня свести к Ахматовой, я чрезвычайно сильно удивился: а что, Ахматова жива? Это -- во-первых, а во-вторых, когда мы поехали, я даже не знал, к кому мы едем.

Надо сказать, я особенно и не читал Ахматову. Что касается Пастернака, то его имя было как-то больше на устах. Я уж не знаю, чем все это объяснить, может быть, каким-то недостатком в моей способности воспринимать изящную словесность в ту пору, либо я уже не знаю чем... Я впервые прочел Пастернака более или менее осмысленным образом, когда мне было года 24, не раньше. Правда, помимо Пастернака, помимо Ахматовой, были совершенно замечательные люди, как, например, Семен Липкин, но они были абсолютно неизвестны и недоступны. Даже если у Липкина были двоюродные братья и сестры, то и они ничего не знали: он все писал в стол. В те же самые годы писал, работал Тарковский, но никто его не читал. Все это вышло на поверхность много позже. Тарковский, грубо говоря, -- это 60-е годы, конец 60-х, а Липкин вообще стал известен совсем недавно. Во всяком случае, молодые люди, вроде вашего покорного слуги и его друзей, знали очень мало о том, что на самом деле происходило в отечественной словесности. Как впрочем не знал этого и остальной мир. Я думаю, что в этом смысле утверждение Сильвестра достаточно справедливо, потому что в качестве поэзии выдавалось то, что существовало на страницах печати, -- но это был абсолютный вздор, об этом и говорить стыдно, и вспоминать не хочется. Что касается прокладывания своей собственной дороги (в этом смысле дорога была исключительно "своей собственной"), то это была не столько дорога, сколько блуждание наощупь, вслепую. Что-то я подбирал себе на слух или по наитию. И вообще, процесс был не столько литературный... -- то, чем мы занимались, тот же Рейн, Найман, тот же Бобышев; с другой стороны, Горбовский, Кушнер, -- все мы в известной степени открывали для себя изящную словесность впервые. Это был процесс чрезвычайно любопытный и потрясающе интересный: мы начинали литературу заново. Мы не были отпрысками, или последователями, или элементами какого-то культурного процесса, особенно литературного процесса, -- ничего подобного не было. Мы все пришли в литературу бог знает откуда, практически лишь из факта своего существования, из недр, не то, чтобы от станка или от сохи, гораздо дальше, -- из умственного, интеллектуального, культурного небытия. И ценность нашего поколения заключается именно в том, что никак и ничем не подготовленные, мы проложили эти самые, если угодно, дороги. Дороги -- это, может быть, слишком громко, но тропы -- безусловно. Мы действовали не только на свой страх и риск, это само собой, но просто исключительно по интуиции. И что замечательно -- что человеческая интуиция приводит именно к тем результатам, которые не так разительно отличаются от того, что произвела предыдущая культура, стало быть, перед нами не распавшиеся еще цепи времен, а это замечательно. Это безусловно свидетельствует об определенном векторе человеческого духа.

Д. Г. Это может быть отчасти связано с тем, что вы сами побеспокоились о своем образовании, ведь вы же ушли из школы после 8 класса?

И. Б. Я -- да. Но это только сейчас, оглядываясь, я могу сказать что-нибудь в этом роде. Когда я уходил из школы, когда мои друзья бросали свои должности, дипломы, переключались на изящную словесность, мы действовали по интуиции, по инстинкту. Мы кого-то читали, мы, вообще, очень много читали, но никакой преемственности в том, чем мы занимались, не было. Не было ощущения, что мы продолжаем какую-то традицию, что у нас были какие-то воспитатели, отцы. Мы, действительно, были если не пасынками, то в некотором роде сиротами и замечательно, когда сирота запекает голосом отца. Это и было, по-моему, самым потрясающим в нашем поколении. Все эти книги, все эти сочинения -- Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой -- все это мы доставали с невероятным трудом, если доставали вообще. Я, например, прочел Мандельштама, когда мне было 23 года, а стихи я начал писать более или менее сознательно, когда мне было 18, 19 или 20 лет. Но если ты находишь кого-нибудь вроде Мандельштама, Цветаевой или Ахматовой в 24 года, то ты не особенно воспринимаешь их как влияние, а скорее, скажем, с чисто археологической точки зрения. Они и

производят сильное впечатление потому, что ты не предполагал об их существовании. В то же время, если ты вырастаешь в среде, когда известно, что был Мандельштам, ты знаешь, чего ждать, у тебя есть какая-то общая идея относительно того, что происходит в поэзии. Без этого ты только гадаешь, как радар, который посылает в атмосферу сигналы, иногда ты можешь увидеть отсветы, но чаще не видишь ничего.

Д. Г. А как же быть теперешним молодым писателям?

И. Б. Черт его знает, мне трудно что бы то ни было сказать по этому поводу. В известной степени у них полная малина, потому что все, что их интересует, им доступно. Разумеется, не следует их всех валить в общую кучу, так как благодаря разнообразным обстоятельствам люди начинают жить самым разным образом. И вполне возможно, что они могут оказаться в условиях столь же изолированных от каких-либо культурных влияний, в каких когда-то оказались мы, но на сегодняшний день это представить трудно.

Д. Г. Когда вы только приехали на Запад, вы сказали -- я цитирую по памяти -- что не собираетесь мазать дегтем ворота родины.

И. Б. Да, более или менее...

Д. Г. Очевидно, вы тогда еще рассчитывали вернуться?

И. Б. Нет... нет...

Д. Г. А теперь утеряна надежда или...

И. Б. У меня не было никогда надежды, что я вернусь. Хотелось бы, но надежды нет. Во всяком случае, я сказал это отнюдь не в надежде обеспечить себе возврат когда бы то ни было под отчий кров. Нет, мне просто неприятно этим заниматься. Я не думаю, что этим следует заниматься.

Д. Г. А желание вернуться?

И. Б. О, желание вернуться, конечно, существует, куда оно денется, с годами оно не столько ослабевает, сколько укрепляется.

Д. Г. Вы русский поэт, но американский эссеист. Не создает ли это какого-нибудь раздвоения личности? Не идет ли ваша "русскость" постоянно на убыль?

И. Б. Как вам сказать? Я не знаю. Что касается меня, то внутри своего сознания я чувствую себя достаточно естественным образом. Думаю, что это вообще идеальная ситуация -- быть русским поэтом и американским эссеистом. Вся история заключается в том, хватит ли у вас -- а) души и б) извилин на то и другое. Иногда мне кажется, что хватает, иногда -- что нет. Мне кажется иногда, что одно мешает другому; зачастую, когда я сочиняю стихотворение и пытаюсь уловить рифму, вместо русской вылезает английская, но это издержки, которые у этого производства всегда велики. А какую форму принимают эти издержки, уже безразлично. Я не знаю, может быть, моя русскость идет на убыль, но если она может идти на убыль, то это и есть ее красная цена, это свидетельствует о ее качестве. Думаю, что этого нет, хотя, может быть, и есть, я не знаю. По крайней мере, стихи по-русски мне до сих пор писать хочется, и я до сих пор этим занимаюсь. То, что я делаю, мне нравится, точнее часто нравится, и это в конечном счете то, что меня более всего интересует. Больше всего меня занимает процесс, а не его последствия. А что касается того, пошла ли русскость моя на убыль, или, наоборот, как бы сказать, законсервировалась, -- это уже судить не мне. Хотя я думаю, что прежде всего надо было бы определить понятие "русскость", которое в общем связано с некоторым сужением русского национального сознания. Я думаю, что русский человек -- это гораздо более обширное явление и что если что-нибудь и происходит в моем случае, то в некотором роде это расширение русскости, а не ее сужение, хотя я, может быть, и льщу себе.

Д. Г. В статье "Английский Бродский" Алексей Лосев пишет: "Писателем можно быть только на одном родном языке, что предопределено просто-напросто географией. Даже с малолетства в совершенстве владея двумя или более языками, всегда лишь один мир твой, лишь одним культурно-лингвистическим комплексом ты можешь сознательно

управлять, а все остальные -- посторонние, как их не изучай, жизни не хватит, хлопот и ляпсусов не оберешься". Вы с этим согласны?

*И. Б.* Это утверждение вздорное, т. е. не вздорное, а чрезвычайно, как бы сказать, епархиальное, я бы сказал, местечковое. Дело в том, что в истории русской литературы не так уж легко найти пример, когда бы писатель был литератором в двух культурах, но двуязычие -- это норма, вполне реальная норма: Пушкин, в конце концов...

*Д. Г.* Но Пушкин не стал известен как французский поэт.

*И. Б.* Совершенно верно, он не стал известен как французский поэт, но как автор писем он был ничуть не хуже своих французских современников. Итак, Пушкин, Тургенев, два языка -- это норма. Просто в силу самых разнообразных, не нами придуманных обстоятельств мы оказались в ситуации, когда нам не остается ничего другого, как настаивать на нашей этнической уникальности. Но для человеческого вида, для рода, просто для человека как организма это означает нечто оскорбительное. Дело в том, что у человеческого организма существуют огромные потенциальные возможности развития, и с моей точки зрения, просто оперировать двумя языками -- в этом нет ничего сверхъестественного. Возьмите европейцев: голландцев, немцев, англичан -- для них существование, в общем, двух или трех языков вполне естественно. Я знаю массу людей, для которых написать одно и то же на двух языках вполне возможно. Стихи труднее, но тоже возможно. Возьмите Беккета, Джойса, кого угодно, почему русские хуже? Я привожу эти примеры не потому, что моя жизнь сложилась так же, как их жизнь. Я начал сочинять свои эссе по-английски исключительно по соображениям практическим, потому что эссе, рецензия, скажем, статья заказывается тебе журналом. Конечно, ее можно написать по-русски, потом перевести на английский, но это занимает гораздо больше времени.

Журналы, как правило, ограничены какими-то определенными сроками, надо успеть к выходу, поэтому гораздо большая вероятность напечатать, если ты уже пишешь по-английски. И это было единственным соображением, по которому я этим занялся. Для меня абсолютно естественно быть русским поэтом и писать эссе по-английски.

*Д. Г.* А вы хотите, в конечном итоге, стать двуязычным поэтом?

*И. Б.* Вы знаете, нет. Эта амбиция у меня совершенно отсутствует, хотя я вполне в состоянии сочинять весьма приличные стихи по-английски. Но для меня, когда я пишу стихи по-английски, -- это скорее игра в шахматы, если угодно, такое складывание кубиков. Хотя я часто ловлю себя на том, что процессы психологические, эмоционально-акустические идентичны. Приходят в движение те же самые механизмы, которые действуют, когда я сочиняю стихи по-русски. Но стать Набоковым или Джозефом Конрадом -- этих амбиций у меня напрочь нет. Хотя я это вполне представляю себе возможным, у меня просто нет на это ни времени, ни энергии, ни нарциссизма. Однако я вполне допускаю, что кто-то на моем месте мог быть и тем и другим, т. е. сочинять стихи и по-английски и по-русски. Более того, я думаю, что это и произойдет в конечном счете, если мы говорим о будущем. Вполне возможно, что через 20 -30 лет просто появятся люди, для которых это будет вполне естественным. Я, например, знаю ряд литераторов в Европе -- немецких и итальянских, которые, когда это им больше нравится, начинают писать стихи по-английски. Разумеется, это сопряжено с некоторой редуциацией качества поэтической техники. Особенно это естественно, когда речь идет о верлибре. Возьмите того же самого Айги, я совершенно не понимаю, почему он пишет по-русски, он может писать по-немецки, на суахили, там не связано это ни с какой дисциплиной. Речь идет о том, что по-английски называется "perception", о восприятии каких-то определенных ощущений. И если вы изящную словесность воспринимаете, как передачу этих ощущений в определенной сюжетной последовательности -- то все это можно сделать. Другое дело стихи, как я их понимаю, -восстановление гармонии просодии, это несколько труднее, хотя и это возможно. Я это

сделал несколько раз, чтобы, по крайней мере, убедиться, что я в состоянии это сделать и чтобы не было этих самых комплексов.

*Д. Г. Как вы эволюционируете как поэт?*

*И. Б. Я не знаю, как я эволюционирую. Думаю, что эволюцию у поэта можно проследить только в одной области -- в просодии, т. е. какими размерами он пользуется. Размеры, вы знаете, -- это по сути сосуды, или, по крайней мере, отражение определенного психического состояния. Оглядываясь назад, я могу с большей или меньшей достоверностью утверждать, что в первые 10 -- 15 лет своей как бы сказать карьеры я пользовался размерами более точными, более точными метрами, т. е. пятистопным ямбом, что свидетельствовало о некоторых моих иллюзиях, о способности или о желании подчинить свою речь определенному контролю. На сегодняшний день в том, что я сочиняю, гораздо больший процент дольника, интонационного стиха, когда речь приобретает, как мне кажется, некоторую нейтральность. Я склоняюсь к нейтральности тона, и думаю, что изменение размера или качество размеров, что ли, свидетельствует об этом. И, если есть какая-либо эволюция, то она в стремлении нейтрализовать всякий лирический элемент, приблизить его к звуку, производимому маятником, т. е. чтобы было больше маятника, чем музыки.*

*Д. Г. Вы думаете, что такой отход от традиционных размеров будет более широко принят потом?*

*И. Б. Знаете, все это в высшей степени гадательно, и я не особенно над этим ломаю голову. Я думаю, что то, чем я занимаюсь, более или менее отражает мою собственную (хотя это и звучит несколько высокопарно) эволюцию. В конце концов, мои сочинения, моя жизнь -- это мое Евангелие. Д. Г. Расскажите, пожалуйста, об Ахматовой.*

*И. Б. Это долго и это сложно. Об этом надо либо километрами, либо совсем ничего. Для меня это чрезвычайно трудно, потому что я совершенно не в состоянии ее объективировать, то есть выделять из своего сознания; скажем так, вот вам Ахматова, и я о ней рассказываю. Может быть, я преувеличиваю, но люди, с которыми вы сталкиваетесь, становятся частью вашего сознания, людей, с которыми вы встречаетесь, как это ни жестоко звучит, вы как бы в себя "втираете", они становятся вами. Поэтому, рассказывая об Ахматовой, я в конечном счете говорю о себе. Все, что я делаю, что пишу, -- это, в конечном счете, и есть рассказ об Ахматовой.*

*Если говорить о моем знакомстве с ней, то произошло это, когда я был совершенно ипаной. Мне было 22 года, наверное. Рейн меня отвез к ней, и моим глазам представилось зрелище, по прежней жизни совершенно не знакомое. Люди, с которыми мне приходилось иметь дело, находились в другой категории, нежели она. Она была невероятно привлекательна, она была очень высокого роста, не знаю, какого именно, но я был ниже ее и, когда мы гуляли, я старался быть выше, чтобы не испытывать комплекса неполноценности. Глядя на нее, становилось понятно (как сказал, кажется, какой-то немецкий писатель) почему Россия время от времени управлялась императрицами. В ней было величие, если угодно, имперское величие. Она была невероятно остроумна, но это не способ говорить об этом человеке. В те времена я был абсолютный дикарь, дикарь во всех отношениях -- в культурном, духовном, я думаю, что если мне и привились некоторые элементы христианской психологии, то произошло это благодаря ей, ее разговорам, скажем, на темы религиозного существования. Просто то, что эта женщина простила врагам своим, было самым лучшим уроком для человека молодого, вроде вашего покорного слуги, уроком того, что является сущностью христианства. После нее я не в состоянии, по крайней мере до сих пор, всерьез относиться к своим обидчикам. К врагам, заведомым негодьям, даже, если угодно, к бывшему моему государству, и их презирать. Вот один из эффектов. Мы чрезвычайно редко говорили о стихах как о таковых. Она в то время переводила. Все, что она писала, она все время показывала нам, т. е. я был не единственным, кто ее в достаточной степени хорошо знал, нас было четверо (Рейн, Найман, Бобышев и я), она называла нас "волшебным куполом". ("Волшебный купол" с*

божьей помощью распался.) Она всегда показывала нам стихи и переводы, но не было между нами пиетета, хождения на задних лапках и заглядывания в рот. Когда нам представлялось то или иное ее выражение неудачным, мы ей предлагали поправки, она исправляла их, и наоборот. Отношения с ней носили абсолютно человеческий и чрезвычайно непосредственный характер. Разумеется, мы знали, с кем имеем дело, но это ни в коем случае не влияло на наши взаимоотношения. Поэт -- он все-таки в той или иной степени прирожденный демократ. Он, как птичка, которая, на какую ветку ни сядет, сразу же начинает чирикать. Так и для поэта -- иерархий в конечном счете не существует, не иерархий оценок, о которых я и говорил вначале, а других, человеческих иерархий.

Д. Г. О вашем суде не хотите поговорить?

И. Б. Ну, это бессмысленно, это был определенный зоопарк.

Д. Г. Когда речь заходит о ваших стихах, то часто говорится о влиянии Джона Донна.

И. Б. Это -- чушь.

Д. Г. Вы же сами писали об этом.

И. Б. Ну, я написал стихотворение, большую элегию Джону Донну; Впервые я начал читать его, когда мне было 24 года и, разумеется, он произвел на меня сильное впечатление: ничуть не менее сильное, чем Мандельштам и Цветаева. Но говорить о его влиянии? Кто я такой, чтобы он на меня влиял? Единственно, чему я у Донна научился -- это строфике. Донн, как вообще большинство английских поэтов, особенно елизаветинцев -- что называется по-русски ренессанс, -- так вот, все они были чрезвычайно изобретательны в строфике. К тому времени, как я начал заниматься стихосложением, идея строфы вообще отсутствовала, поскольку отсутствовала культурная преемственность. Поэтому я этим чрезвычайно заинтересовался. Но это было скорее влияние формальное, если угодно, влияние в области организации стихотворения, но отнюдь не в его содержании. Джон Донн куда более глубокое существо, нежели я. Я бы никогда не мог стать настоящим ни в Святом Павле, ни в Святом Петре. То есть это гораздо более глубоко чувствующий господин, нежели ваш покорный слуга. Я думаю, что все английские поэты, которых я читал, оказывают влияние, и не только великие поэты, но и чрезвычайно посредственные, они даже влияют в большей степени, потому что показывают, как не надо писать.

## Литовский дивертисмент

Томасу Венцлова

### 1. Вступление

Вот скромная приморская страна.  
Свой снег, аэропорт и телефоны,  
свои евреи. Бурый особняк  
диктатора. И статуя певца,  
отечество сравнившего с подругой,

в чем проявился пусть не тонкий вкус,  
но знанье географии: южане  
здесь по субботам ездят к северянам  
и, возвращаясь под хмельком пешком,  
порой на Запад забредают — тема  
для скетча. Расстоянья таковы,  
что здесь могли бы жить гермафродиты.

Весенний полдень. Лужи, облака,  
бесчисленные ангелы на кровлях  
бесчисленных костелов; человек  
становится здесь жертвой толчеи  
или деталью местного барокко.

## 2. Леиклос

Родиться бы сто лет назад  
и сохнувшей поверх перины  
глазеть в окно и видеть сад,  
кресты двуглавой Катарины;  
стыдиться матери, икать  
от наведенного лорнета,  
тележку с рухлядью толкать  
по желтым переулкам гетто;  
вздыхать, накрывшись с головой,  
о польских барышнях, к примеру;  
дождаться Первой мировой  
и пасть в Галиции — за Веру,  
Царя, Отечество, — а нет,  
так пейсы переделать в бачки  
и перебраться в Новый Свет,  
блюя в Атлантику от качки.

## 3. Кафе «Неринга»

Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе,  
провожаемо дребезгом блюдец, ножей и вилок,  
и пространство, пришурившись, подшофе,  
долго смотрит ему в затылок.

Потерявший изнанку пунцовый круг  
замирает поверх черепичных кровель,  
и кадык заостряется, точно вдруг  
от лица остается всего лишь профиль.

И веления щучьего слыша речь,  
подавальщица в кофточке из батиста  
перебирает ногами, снятыми с плеч  
местного футболиста.

## 4. Герб

Драконоборческий Егорий,  
копье в горниле аллегорий  
утратив, сохранил досель  
коня и меч, и повсеместно

в Литве преследует он честно  
другим не видимую цель.

Кого он, стиснув меч в ладони,  
решил настичь? Предмет погони  
скрыт за пределами герба.  
Кого? Язычника? Гяура?  
Не весь ли мир? Тогда не дура  
была у Витовта губа.

#### 5. Amicum-philosophum de melancholia, mania et plica polonica

Бессонница. Часть женщины. Стекло  
полно рептилий, рвущихся наружу.  
Безумье дня по мозжечку стекло  
в затылок, где образовало лужу.  
Чуть шевельнись — и ощутит нутро,  
как некто в ледяную эту жижу  
обмакивает острое перо  
и медленно выводит «ненавижу»  
по росписи, где каждая крива  
извилинка. Часть женщины в помаде  
в слух запускает длинные слова,  
как пятерню в завшивленные пряди.  
И ты в потемках одинок и наг  
на простыне, как Зодиака знак.

#### 6. Palangen

Только море способно взглянуть в лицо  
небу; и путник, сидящий в дюнах,  
опускает глаза и сосет винцо,  
как изгнанник-царь без орудий струнных.  
Дом разграблен. Стада у него — свели.  
Сына прячет пастух в глубине пещеры.  
И теперь перед ним — только край земли,  
и ступать по водам не хватит веры.

#### 7. Dominikanaj

Сверни с проезжей части в полу —  
слепой проулок и, войдя  
в костел, пустой об эту пору,  
сядь на скамью и, погода,  
в ушную раковину Бога,  
закрытую для шума дня,  
шепни всего четыре слога:  
— Прости меня.

1971

«Я всегда твердил, что судьба — игра...»

Л. В. Лосеву

Я всегда твердил, что судьба — игра.  
Что зачем нам рыба, раз есть икра.  
Что готический стиль победит, как школа,  
как способность торчать, избежав укола.  
Я сижу у окна. За окном осина.  
Я любил немногих. Однако — сильно.

Я считал, что лес — только часть полена.  
Что зачем вся дева, раз есть колено.  
Что, устав от поднятой веком пыли,  
русский глаз отдохнет на эстонском шпиле.  
Я сижу у окна. Я помыл посуду.  
Я был счастлив здесь, и уже не буду.

Я писал, что в лампочке — ужас пола.  
Что любовь, как акт, лишена глагола.  
Что не знал Эвклид, что, сходя на конус,  
вещь обретает не ноль, но Хронос.  
Я сижу у окна. Вспоминаю юность.  
Улыбнусь порою, порой отплюнусь.

Я сказал, что лист разрушает почку.  
И что семя, упавши в дурную почву,  
не дает побега; что луг с поляной  
есть пример рукоблудья, в Природе данный.  
Я сижу у окна, обхватив колени,  
в обществе собственной грузной тени.

Моя песня была лишена мотива,  
но зато ее хором не спеть. Не диво,  
что в награду мне за такие речи  
своих ног никто не кладет на плечи.  
Я сижу у окна в темноте; как скорый,  
море гремит за волнистой шторой.

Гражданин второсортной эпохи, гордо  
признаю я товаром второго сорта  
свои лучшие мысли и дням грядущим  
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.  
Я сижу в темноте. И она не хуже  
в комнате, чем темнота снаружи.

1971

## Натюрморт

### I

Вещи и люди нас  
окружают. И те,  
и эти терзают глаз.  
Лучше жить в темноте.

Я сижу на скамье  
в парке, глядя вослед  
проходящей семье.  
Мне опротивел свет.

Это январь. Зима.  
Согласно календарю.  
Когда опротивеет тьма,  
тогда я заговорю.

### II

Пора. Я готов начать.  
Не важно, с чего. Открыть  
рот. Я могу молчать.  
Но лучше мне говорить.

О чем? О днях, о ночах.  
Или же — ничего.  
Или же о вещах.  
О вещах, а не о

людях. Они умрут.  
Все. Я тоже умру.  
Это бесплодный труд.  
Как писать на ветру.

### III

Кровь моя холодна.  
Холод ее лютей  
реки, промерзшей до дна.  
Я не люблю людей.

Внешность их не по мне.  
Лицами их привит  
к жизни какой-то не —  
покидаемый вид.

Что-то в их лицах есть,

что противно уму.  
Что выражает лесть  
неизвестно кому.

#### IV

Вещи приятней. В них  
нет ни зла, ни добра  
внешне. А если вник  
в них — и внутри нутра.

Внутри у предметов — пыль.  
Прах. Древооточец-жук.  
Стенки. Сухой мотыль.  
Неудобно для рук.

Пыль. И включенный свет  
только пыль озарит.  
Даже если предмет  
герметично закрыт.

#### V

Старый буфет извне  
так же, как изнутри,  
напоминает мне  
Нотр-Дам де Пари.

В недрах буфета тьма.  
Швабра, епитрахиль  
пыль не сотрут. Сама  
вещь, как правило, пыль

не тщится перебороть,  
не напрягает бровь.  
Ибо пыль — это плоть  
времени; плоть и кровь.

#### VI

Последнее время я  
сплю среди бела дня.  
Видимо, смерть моя  
испытывает меня,

поднося, хоть дышу,  
зеркало мне ко рту, —  
как я переносу  
небытие на свету.

Я неподвижен. Два  
бедра холодны, как лед.  
Венозная синева  
мрамором отдает.

## VII

Преподнося сюрприз  
суммой своих углов,  
вещь выпадает из  
миропорядка слов.

Вещь не стоит. И не  
движется. Это — бред.  
Вещь есть пространство, вне  
коего вещи нет.

Вещь можно грохнуть, сжечь,  
распотрошить, сломать.  
Бросить. При этом вещь  
не крикнет: «Ебена мать!»

## VIII

Дерево. Тень. Земля  
под деревом для корней.  
Корявые вензеля.  
Глина. Гряда камней.

Корни. Их переплет.  
Камень, чей личный груз  
освобождает от  
данной системы уз.

Он неподвижен. Ни  
сдвинуть, ни унести.  
Тень. Человек в тени,  
словно рыба в сети.

## IX

Вещь. Коричневый цвет  
вещи. Чей контур стерт.  
Сумерки. Больше нет  
ничего. Натюрморт.

Смерть придет и найдет  
тело, чья гладь визит

смерти, точно приход  
женщины, отразит.

Это абсурд, вранье:  
череп, скелет, коса.  
"Смерть придет, у нее  
будут твои глаза".

Х

Мать говорит Христу:  
— Ты мой сын или мой  
Бог? Ты прибит к кресту.  
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,  
не поняв, не решив:  
ты мой сын или Бог?  
То есть мертв или жив?

Он говорит в ответ:  
— Мертвый или живой,  
разницы, жено, нет.  
Сын или Бог, я твой.

1971

## Любовь

Я дважды пробуждался этой ночью  
и брел к окну, и фонари в окне,  
обрывок фразы, сказанной во сне,  
сводя на нет, подобно многоточью  
не приносили утешенья мне.

Ты снилась мне беременной, и вот,  
проживши столько лет с тобой в разлуке,  
я чувствовал вину свою, и руки,  
ощупывая с радостью живот,  
на практике нашаривали брюки

и выключатель. И бредя к окну,  
я знал, что оставлял тебя одну  
там, в темноте, во сне, где терпеливо  
ждала ты, и не ставила в вину,  
когда я возвращался, перерыва

умышленного. Ибо в темноте —  
там длится то, что сорвалось при свете.  
Мы там женаты, венчаны, мы те

двухспинные чудовища, и дети  
лишь оправданье нашей нагоде.

В какую-нибудь будущую ночь  
ты вновь придешь усталая, худая,  
и я увижу сына или дочь,  
еще никак не названных, — тогда я  
не дернусь к выключателю и прочь

руки не протяну уже, не вправе  
оставить вас в том царствии теней,  
безмолвных, перед изгородью дней,  
впадающих в зависимость от яви,  
с моей недостижимостью в ней.

11 февраля 1971

### Посвящается позвоночнику

Сколь бы чудовищным или, наоборот, бездарным день ни оказался, вы вытягиваетесь на постели и -- больше вы не обезьяна, не человек, не птица, даже не рыба. Горизонтальность в природе -- свойство скорее геологическое, связанное с отложениями: она посвящается позвоночнику и рассчитана на будущее. То же самое в общих чертах относится ко всякого рода путевым заметкам и воспоминаниям; сознание в них как бы опрокидывается навзничь и отказывается бороться, готовясь скорее ко сну, чем к сведению счетов с реальностью.

Записываю по памяти: путешествие в Бразилию. Никакое не путешествие, просто сел в самолет в девять вечера (полная бестолковщина в аэропорту: "Вариг" продал вдвое больше билетов на этот рейс, чем было мест; в результате обычная железнодорожная паника, служащие (бразильцы) нерасторопны, безразличны; чувствуется государственность -национализированность -- предприятия: госслужащие). Самолет битком; вопит младенец, спинка кресла не откидывается, всю ночь провел в вертикальном положении, несмотря на снотворное. Это при том, что только 48 часов назад прилетел из Англии. Духота и т. д. В довершение всего прочего, вместо девяти часов лету получилось 12, т. к. приземлились сначала в Сан-Пауло -- под предлогом тумана в Рио, -- на деле же потому, что у половины пассажиров билеты были именно до Сан-Пауло.

От аэропорта до центра такси несется по правому (?) берегу этой самой Январской реки, заросшему портовыми кранами и заставленному океанскими судами, сухогрузами, танкерами и т. п. Кроме того, там и сям громоздятся серые (шаровые) громады бразильского ВМФ. (В одно прекрасное утро я вышел из гостиницы и увидел входящую в бухту цитату из Вертинского: "А когда придет бразильский крейсер, капитан расскажет вам про гейзер...") Слева, стало быть, от шоссе паромы, порт, справа, через каждые сто метров, группы шоколадного цвета подростков играют в футбол.

Говоря о котором, должен заметить, что удивляться успехам Бразилии в этом виде спорта совершенно не приходится, глядя на то, как здесь водят автомобиль. Что действительно странно при таком вождении, так это численность местного населения. Местный шофер -- это помесь Пеле и камикадзе. Кроме того, первое, что бросается в глаза, это полное доминирование маленьких "фольксвагенов" ("жуков"). Это, в сущности, единственная марка автомобилей, тут имеющаяся. Попадаются изредка "рено", "пежо" и "форды", но они в явном меньшинстве. Также телефоны -- все системы Сименс (и Шуккерт). Иными словами, немцы тут на коне, так или иначе. (Как сказал Франц Беккенбауэр: "Футбол -- самая существенная из несущественных вещей".)

Нас поселили в гостинице "Глория", старомодном четырнадцатизэтажном сооружении с весьма диковинной системой лифтов, требующих постоянной пересадки из одного в другой. За неделю, проведенную в этой гостинице, я привык к ней как к некоей утробе -- или внутренностям осьминога. В определенном смысле гостиница эта оказалась куда более занятой, чем мир вовне. Рио -- вернее, та часть его, к-рую мне довелось увидеть, -- весьма однообразный город, как в смысле застройки, так и планировки; и в смысле богатства, и в смысле нищеты. Двух-трехкилометровая полоса земли между океаном и скальным нагромождением вся заросла сооружениями, а ля этот идиот Корбюзье. Девятнадцатый и восемнадцатый век уничтожены совершенно. В лучшем случае вы можете наткнуться на останки купеческого модерна конца века с его типичным сюрреализмом аркад, балконов, извивающихся лестниц, башенок, решеток и еще черт знает чем. Но это -- редкость. И редкость же маленькие четырех-трехэтажные гостиницы на задах в узких улицах за спиной этих оштукатуренных громад; улочки, карабкающиеся под углом минимум в 75 градусов на склоны холмов и кончающиеся вечнозеленым лесом, подлинными джунглями. В них, в этих улицах, в маленьких виллах, в полудоходных домах живет местное -- главным образом обслуживающее приезжих -- население: нищее, немного отчаянное, но в общем не слишком возражающее против своей судьбы. Здесь вечером вас через каждые десять метров приглашают поебаться, и, согласно утверждению зап. германского консула, проститутки в Рио денег не берут -или, во всяком случае, не рассчитывают на получение и бывают чрезвычайно удивлены, если клиент пожелает расплатиться.

Похоже на то, что Его Превосходительство был прав. Проверить не было возможности, ибо был, что называется, с утра до вечера занят делегаткой из Швеции, мастью и бездарностью в деле чрезвычайно напоминавшей К. Х., с той лишь разницей, что та не была ни хамкой, ни психопаткой (впрочем, я тоже был тогда лучше и моложе и, не представь меня К. тогда своему суженому и их злобствующему детенышу, мог бы даже, как знать, эту бездарность преодолеть). На третий день моего пребывания в Рио и на второй этих шведских игр мы отправились на пляж в Копакабана, где у меня вытащили, пока я загорал, четыреста дубов плюс мои любимые часы, подаренные мне Лиз Франк шесть лет назад в Массачузетсе. Кража была обставлена замечательно, и, как ко всему здесь, к делу была привлечена природа -- в данном случае в образе пегой овчарки, разгуливающей по пляжу и по наущению хозяина, пребывающего в отдалении, отгаскивающей в сторону портки путешественника. Путешественник, конечно же, не заподозрит четвероногое: ну, крутится там собачка одна поблизости, и все. Двуногое же тем временем потрошит ваши портки, гуманно оставляя пару крузейро на автобус до гостиницы. Так что об экспериментах с местным населением не могло быть и речи, что бы там ни утверждал немецкий консул, угощая нас производящей впечатление жидкостью собственного изготовления, отливавшей всеми цветами радуги.

Пляжи в Рио, конечно же, потрясающие. Вообще, когда самолет начинает снижаться, вы видите, что почти все побережье Бразилии -- один непрерывный пляж от экватора до Патагонии. С вершины Корковадо -- скалы, доминирующей над городом и увенчанной двадцатиметровой статуей Христа (подаренной городу не кем иным как Муссолини), открывается вид на все три: Копакабана, Ипанама, Леблон -- и многие другие, лежащие к северу и к югу от города, и на бесконечные горные цепи, вдоль чьих подошв громоздятся белые бетонные джунгли этого города. В ясную погоду у вас впечатление, что все ваши самые восхитительные грезы суть жалкое, бездарное крохоборство недоразвитого воображения. Боюсь, что пейзажа, равного здесь увиденному, не существует.

Поскольку я пробыл там всего неделю, все, что я говорю, не выходит, по определению, за рамки первого впечатления. Отметив сие, я могу только сказать, что Рио есть наиболее абстрактное (в смысле культуры, ассоциации и проч.) место. Это город, где у вас не может быть воспоминаний, проживи вы в нем всю жизнь. Для выходца из Европы Рио есть воплощение биологической нейтральности. Ни один фасад, ни одна улочка, подворотня не

вызовут у вас никаких аллюзий. Это город -- город двадцатого века, ничего викторианского, ничего даже колониального. За исключением, пожалуй, здания пассажирской пристани, похожей одновременно на Исаакиевский собор и на вашингтонский Капитолий. Благодаря этому безличному (коробки, коробки и коробки), имперсональному своему характеру, благодаря пляжам, адекватным в своих масштабах и щедрости, что ли, самому океану, благодаря интенсивности, густоте, разнообразию и совершенному несовпадению, несоответствию местной растительности всему тому, к чему европеец привык, Рио порождает ощущение полного бегства от действительности -- как мы ее привыкли себе представлять. Всю эту неделю я чувствовал себя, как бывший нацист или Артур Рембо: все позади -- и все позволено.

Может быть даже, говорил я себе, вся европейская культура, с ее соборами, готикой, барокко, рококо, завитками, финтифлюшками, пилястрами, акантами и проч., есть всего лишь тоска обезьяны по утраченному навсегда лесу. Не показательно ли, что культура -- как мы ее знаем -- и расцвела-то именно в Средиземноморье, где растительность начинает меняться и как бы обрывается над морем перед полетом или бегством в свое подлинное отечество... Что до конгресса ПЕН-Клуба, это было мероприятие, отчаянное по своей скуке, бессодержательности и отсутствию какого бы то ни было отношения к литературе. Марио Варгас Льюса и, может быть, я были единственными писателями в зале. Сначала я просто решил игнорировать весь этот бред; но, когда вы встречаетесь каждое утро с делегатами (и делегатками -- в деле гадкими делегатками) за завтраком, в холле, в коридоре и т. д., мало-помалу это начинает приобретать черты реальности. Под конец я сражался как лев за создание отделения ПЕН-Клуба для вьетнамских писателей в изгнании. Меня даже разобрало, и слезы мешали говорить.

Под конец составилась октаэдр: Ульрих фон Тирн со своей женой, Фернандо Б. (португалец) с женой, Томас (швед) с дамой из Дании и с Самантхой (т. е. скандинавский треугольник в его случае) и я со своей шведкой. Плюс-минус два зап. немца, полупьяные, полусумасшедшие. В этой -- или примерно в этой -компании мы слонялись из кабака в кабак, выпивали и закусывали. Каждый день, наткываясь друг на друга за завтраком в кафетерии гостиницы или в холле, мы задавали друг другу один и тот же вопрос: "Что вы поделяваете вечером?" -- и в ответ раздавалось название того или иного ресторана или же название заведения, где отцы города собирались нас сегодня вечером развлекать с присущей им, отцам, торжественной глупостью, спичами и т. п. На открытие конгресса прибыл президент Бразилии генерал Фигурейдо, произнес три фразы, посидел в президиуме, похлопал Льюсу по плечу и убыл в сопровождении огромной кавалькады телохранителей, полиции, офицеров, генералов, адмиралов и фотографов всех местных газет, снимавших его с интенсивностью людей, как бы убежденных, что объектив в состоянии не столько запечатлеть поверхность, сколько проникнуть внутрь великого человека. Занятно было наблюдать всю эту шваль, готовую переменить хозяина ежесекундно, встать под любое знамя в своих пиджаках и галстуках, и белых рубашках, оттеняющих их напряженные шоколадные мордочки. Не люди, а какая-то помесь обезьяны и попугая. Плюс преклонение перед Европой и постоянные цитаты то из Гюго, то из Мальро с довольно приличным акцентом. Третий мир унаследовал все, включая комплекс неполноценности Первого и Второго. "Когда ты улетаешь?" -- спросил меня Ульрих. "Завтра", -- ответил я. "Счастливцев", -- сказал он, ибо он оставался в Рио, куда прибыл вместе со своей женой -- как бы спасти брак, что, впрочем, ему уже вполне, по-моему, удалось. Так что он будет покамест торчать в Рио, ездить на пляж с местными преподавателями немецкой литературы, а по ночам, в гостинице, выскальзывать из постели и в одной рубашке стучаться в номер Самантхи. Ее комната как раз под его комнатой. 1161 и 1061. Вы можете обменять доллары на крузейро, но крузейро на доллары не обмениваются.

По окончании конгресса я предполагал остаться в Бразилии дней на десять и либо снять дешевый номер где-ниб. в районе Копакабаны, ходить на пляж, купаться и загорать, либо

отправиться в Бахию и попытаться подняться вверх по Амазонке и оттуда в Куско, из Куско -- в Лиму и назад, в Нью-Йорк. Но деньги были украдены, и, хотя я мог взять 500 дубов в "Америкен экспресс", делать этого не стал. Мне интересен этот континент и эта страна в частности; но боюсь, что я видел уже на этом свете больше, чем осознал. Дело даже не в состоянии здоровья. В конце концов, это было бы даже занятно для русского автора -- дать дуба в джунглях. Но невежество мое относительно южной тематики столь глубоко, что даже самый трагический опыт вряд ли просветил бы меня хоть на йоту. Есть нечто отвратительное в этом скольжении по поверхности с фотоаппаратом в руках, без особенной цели. В девятнадцатом веке еще можно было быть Жюль Верном и Гумбольдтом, в двадцатом следует оставить флору и фауну на их собственное усмотрение. Во всяком случае, я видел Южный Крест и стоял лицом к солнцу в полдень, имея запад слева и восток -- справа. Что до нищеты фавел, то да простят мне все те, кто на прощание способен, она -- нищета эта -- находится в прямой пропорции к неповторимости местного пейзажа. На таком фоне (океана и гор) социальная драма воспринимается скорее как мелодрама не только ее зрителями, но и самими жертвами. Красота всегда немного обесмысливает действительность; здесь же она составляет ее -- действительности -- значительную часть.

Нервный человек не должен -- да и не может -- вести дневниковые записи. Конечно, хотелось бы удержать хоть что-нибудь из этих семи дней -- хоть эти чудовищные по своим размерам шашлыки (чураско родизио), но мне уже на второй день хотелось назад, в Нью-Йорк. Конечно, Рио пошкарней Сочи, Лазурного Берега, Палм-Бич и Флориды, несмотря на плотную пелену выхлопных газов, еще более невыносимых при тамошней жаре. Но -- и, быть может, это главное -сущность всех моих путешествий (их, так сказать, побочный эффект, переходящий в их сущность) состоит в возвращении сюда, на Мортон-стрит: во все более детальной разработке этого нового смысла, вкладываемого мною в "домой". Чем чаще возвращаешься, тем конкретней становится эта конура. И тем абстрактней моря и земли, в которых ты странствуешь. Видимо, я никогда уже не вернусь на Пестеля, и Мортон-ст. -- просто попытка избежать этого ощущения мира как улицы с односторонним движением.

После победы в битве за аннамитов в изгнании выяснилось, что у Самантхи день рождения -- ей исполнилось то ли 35, то ли 45 лет, -- Ульрих с женой, то же самое Фернандо Б., Самантха плюс Великий Переводчик (он-то, может быть, и был главный писатель среди всех нас, ибо на нем репутация всего этого континента и держится) отправились в ресторанцию отмечать. Сильно одурев от выпитого, я принялся додумывать Великого Переводчика насчет его живого товара в том смысле, что все они, как штатские в 19-м веке, обдирают нашего брата европейца, плюс, конечно, еще и штатских, плюс, конечно, своя этнография. Что "Сто лет одиночества" -- тот же Томас Вулф, к-рого -- так уж мне не повезло -- я как раз накануне "ста лет" прочел, и это ощущение "переогромленности" тотчас было узнаваемо. Вел. Пер. мило и лениво отбивался, что да, дескать, неизбежная тоска по мировой культуре и что наш брат европеец тоже этим грешит, а евразиец, может, даже еще больше (тут я вспомнил милюковское: "Почему Евразия? Почему -- учитывая географич. пропорцию -- не Азеопа?"), что психоанализ под экватором еще не привился и поэтому они в состоянии на свой счет сильно фантазировать, в отличие от нынешних штатских людей например. Ульрих, зажатый между Самантхой и ничего не секущей благоверной, заметил, что во всем виноват модернизм, что после его разреженности читателя потянуло на травку, жвачку и разносолы эти латиноамериканские и что вообще одно дело Борхес, а другое -- вся эта жизнерадостная шпана. "И Кортазар", -- говорю я. "Ага, Борхес и Кортазар", -- говорит Ульрих и глазами показывает на Самантху, потому что он в шортах и она лезет в них к нему рукой слева, не видя, что благоверная норовит туда же справа. "Борхес и Кортазар", -- повторяет он. Потом откуда ни возьмись появляются два пьяненьких немца, увлекают спасенную жену и Вел. Пер. с португалами в какие-то гости, а Самантха, Ульрих и я возвращаемся вдоль Копакабаны в "Глорию", в

процессе чего они раздеваются донага и лезут в океан, где и исчезают на пес знает сколько, а я сижу на пустом пляже, сторожу тряпье и долго икаю, и у меня ощущение, что все это уже со мной когда-то происходило.

Пьяный человек, особенно иностранец, особенно русский, особенно ночью, всегда немного беспокоится, найдет ли он дорогу в гостиницу, и от этого беспокойства постепенно трезвеет.

В моем номере в "Глории" -- довольно шикарном по любым понятиям (как-никак я был почетным членом американской делегации) -- висело огромное озероподобное зеркало, потемневшее и сильно зацветшее рыжеватой ряской. Оно не столько отражало, сколько поглощало происходящее в комнате, и я часто, особенно в сумерках, казался себе неким голым окунем, медленно в нем плавающим среди водорослей, то удаляясь, то приближаясь к поверхности. Это ощущение было сильней реальности заседаний, разговоров с делегатами, интервью прессе, так что все происходившее происходило как бы на дне, на заднем плане, затянутое тиной. Может быть, дело было в стоявшей жаре, от которой это озеро было единственной подсознательной защитой, ибо эйр-кондишен в "Глории" не существовало. Так или иначе, спускаясь в зал заседаний или выходя в город, приходилось совершать усилие, как бы вручную наводя сознание, речь и зрение на резкость -- также, впрочем, и слух. Так бывает со строчками, неотвязно тебя преследующими и к делу совершенно не относящимися -- своими и чужими; чаще всего с чужими, с английскими даже чаще, чем с русскими, особенно с оденовскими. Строчки -- водоросли, и ваша память -- тот же окунь, между ними плутающий. С другой стороны, возможно, все объясняется бессознательным нарциссизмом, обретающим посредством распадающейся амальгамы оттенок отстранения, некий вневременной привкус, ибо смысл всякого отражения не столько в интересе к собственной персоне, сколько во взгляде на себя извне. Шведской моей вещи все это было довольно чуждо, и интерес ее к зеркалу был профессионально дамский и отчасти порнографический: вывернув шею, она разглядывала в нем самое себя в процессе, а не водоросли или того же окуня. Слева и справа от озера висели две цветные литографии, изображающие сбор манго полуодетыми негрессами и панораму Каира; ниже серел недействующий телевизор.

Среди делегатов было два совершенно замечательных сволочных экземпляра: пожилая стукачка из Болгарии и подонистый пожилой литературовед из ГДР. Она говорила по-английски, он по-немецки и по-французски, и ощущение от этого было (у меня, во всяком случае) фантастическое: загрязнение цивилизации. Особенно мучительно было выслушивать всю эту отечественного производства ахинею по-английски: ибо инглиш как-то совершенно уже никак для этого не подходит. Кто знает, сто лет назад, наверно, то же самое испытывал и русский слушатель. Я не запомнил их имен: она -- эдакая Роза Хлебб, майор запаса, серое платье, жилотдел, очки, на работе. Он был еще и получше, литературовед с допуском, более трепло, нежели сочинитель -- в лучшем случае, что-нибудь "О стилистике раннего Иоганнеса Бехера" (того, к-рый сочинил этот сонет на день рождения Гуталина, начинающийся: "Сегодня утром я проснулся от ощущения, что тысяча соловьев запела одновременно...". Тысяча нахтигалей). Когда я вылез со своим вяканьем в пользу аннамитов, эти двое зашикали, и Дойче Демократише запросил даже президиум, какую такую страну я представляю. Потом, апре уже самого голосования, канают, падло, ко мне, и начинается что-то вроде "мы же не знаем их творчества, а вы читаете по-ихнему, все же мы европейцы и прочая", на что я сказал что-то насчет того, что у них там в Индочайне народу в N раз побольше, чем в Демократише и не-демократише вместе взятых и, следовательно, есть все шансы, что имеет место быть эквивалент Анны Зегерс унд Стефана Цвейга. Но вообще это больше напоминает цыган на базаре, когда они подходят к тебе и, нарушая территориальный императив, ныряют прямо тебе в физию -- что ты только бабе своей, да и то не всегда позволяешь. Потому что на нормальном расстоянии кто ж подаст. Эти тоже за пуговицу берут, грассируют и смотрят в сторону сквозь итальянские (оправа) очки. Континентальная шушера от этого млеет, потому что -- полемика уё-моё,

цитата то ли из Фейербаха, то ли еще из какой-то идеалистической пафоса, седой волос и полный балдёж от собственного голоса и эрудиции.

Чучмекистан от этого тоже млеет, и даже пуще европейца. Там было навалом этого материала из Сенегала, Слоновой Кости и уж не помню, откуда еще. Лощеные такие шоколадные твари, в замечательной ткани, кенки от Балансиаги и проч., с опытом жизни в Париже, потому что какая же это жизнь для левобережной гошистки, если не было негра из Третьего мира, -- и только это они и помнят, потому что собственные их дехкане, феллахи и бедуины им совершенно ни с какого боку. Ваш же, кричу, цветной брат страдает. Нет, отвечают, уже договорились с Дойче Демократише, и Леопольд Седар Сенгор тоже не велел. С другой стороны, если бы конгресс был не в Рио, а где-нибудь среди елочек и белочек, кто знает, может, и вели бы они себя по-иному. А тут уж больно все знакомо, пальмы да лианы, кричат попугаи. У белого человека вести себя нагло в других широтах основания как бы исторические, крестоносные, миссионерские, купеческие, имперские -- динамические, одним словом. Эти же никогда экспансии никакой не предавались; так что и впрямь, может, лучше их куда-нибудь по снежку, нахальства поубавится, сострадание, может, проснется в Джамбулах этих необрезанных.

Противней всего бывало, когда от этого чего-нибудь разбалывалось, -- и вообще, когда прихватывает там, где нет англиша, весьма неудобно. Как говорил Оден, больше всего я боюсь, что окочурюсь в какой-нибудь гостинице, к большой растерянности и неудовольствию обслужив. персонала. Так это, полагаю, и произойдет, и бумаги останутся в диком беспорядке -- но думать об этом не хочется, хотя надо. Не думаешь же не от того, что неохота, а оттого что эта вещь -- назовем ее небытие, хотя можно бы покороче, -- не хочет, чтобы ты разглашал ее тайны, и сильно тебя собой пугает. Поэтому даже когда и думаешь -- испугавшись, но от испуга оправившись, все равно не записываешь. Странное это дело, вообще говоря, потому что мозг из твоего союзника, чем он и должен быть во время бенца, превращается в пятую колонну и снижает твою и так уж не Бог весть какую сопротивляемость. Думаешь не о том, как из всего этого выбраться, но созерцаешь картины, сознанием живописуемые, каким макабром все это кончится. Я лежал на спине в "Глории", пялился в потолок, ждал действия таблетки и появления шведки, у которой только пляж и был на уме. Но своего я все-таки добился, и аннамитами моим все-таки секцию утвердили, априори маленькая, крошечная вьетнамочка в слезах благодарил меня от имени всего ихнего народа, говоря, что если приеду в Австралию, откуда они ее в складчину послали в Рио, то примут по-царски и угостят ушами от кенгуру. Ничего бразильского я так себе и не купил; только баночку талька, потому что стер, шатаюсь по городу, нежное место.

Лучше всего были ночные разговоры с Ульрихом в баре, где местный тапер с чувством извлекал из фоно "Кумпарситу", "Эль Чокло" (что есть подлинное название "аргентинского танго"), но совершенно не волок "Колонел-буги". Причина: южный -- другой -- сентиментальный, хотя и не без жестокости, -темперамент: неспособность к холодному отрицанию. Во время одного из них -черт знает о чем, о Карле Краусе, по моему, -- моя шведская вещь, по имени Улла, присоединилась к нам и через 10 минут, не поняв ни слова, совершенно взбешенная, начала пороть нечто такое, что чуть было ей не врезал. Что интересно во всем этом, что в человеке просыпается звереныш, дотолде спящий; в ней это был скунс, вонючий хорек по-нашему. И это чрезвычайно интересно -следить за пробуждением бестии в существе, к-рое только час назад шевелило бумагами и произносило напичканные латинизированными речениями спичи перед микрофоном, урби эт орби. Помню очаровательное, светло-палевое с темно-синим рисунком платье, ярко-красный халат поутру -- и лютую ненависть животного, которое догадывается, что оно животное, в два часа ночи. Танго, шушукующиеся в полумраке парочки, сладкий шнапс и недоуменный взгляд Ульриха. Небось, сидел, подлец, и размышлял, к кому сейчас лучше отправиться: в спасенный уже брак -- или к Самантхе, справедливо заторчавшей на образованном европейце.

По окончании всего мероприятия отцы города задали нечто с алкоголем и птифурами в Культурном центре, к-рый со всей своей авангардной архитектурой находится на расстоянии световых лет от Рио, и по дороге как туда, так и, тем более, обратно октаэдр начал понемногу менять свою конфигурацию с помощью М. С., проявившего себя подлинным этнографом и ополчившегося на переводчицу из местных. Потом начался разъезд. Шведская вещь отправлялась в страну серебра, и я не успел с ней попрощаться. Треугольник (Ульрих, его благоверная и С.) -- в Бахию и дальше вверх по Амазонке и оттуда -- до Куско. Пьяненькие немцы -- восвосяи, а я, без башлей, хватаясь за сердце и с рванным пульсом, -- по месту жительства. Португалец (таскавший нас на какое-то местное действо, выдаваемое им за чуть ли не "ву-дуу", а на деле оказавшееся нормальной языческой версией массового очищения в одном из рабочих -- и кошмарных -- кварталов: клочковатая растительность, монотонное пение идиотского какого-то хора -- и все в школьном зале, -- литографии икон, теплая кока-кола, страшные язвенные собаки, и никак не поймать такси обратно) со своей тощей, высокой и ревливой бабой -- на какой-то ему одному -- ибо говорит на местном языке -- ведомый полуостров, где творят чудеса в смысле восстановления потенции. Хотя любая страна -- всего лишь продолжение пространства, есть в этих странах Третьего мира какое-то особое отчаяние, особая, своя безнадега, и то, что у нас осуществляемо госбезопасностью, тут происходит в результате нищеты.

Еще там развлекал меня местный человек, югослав по рождению, воевавший то ли против немцев, то ли против итальянцев и хватавшийся за сердце ничуть не меньше моего. Оказалось, что читал чуть ли не все, обещал раздобыть "Гермес-Бэби" с моим любимым шрифтом, кормил в "чураскерии" на пляже Леблон. Встречая такого сорта людей, всегда чувствую себя жуликом, ибо того, за что они меня держат, давно (с момента написания ими только что прочтенного) не существует. Существует затравленный психопат, старающийся никого не задеть -- потому что самое главное есть не литература, но умение никому не причинить бо-бо; но вместо этого я леплю что-то о Кантемире, Державине и иже, а они слушают, разинув варежки, точно на свете есть нечто еще, кроме отчаяния, неврастения и страха смерти. Как говорил Акутагава: "У меня нет никаких принципов; у меня (есть) только нервы". Любопытно: не то же ли чувствуют, особенно напиваясь, официальные посланцы русской культуры, волоча свои кости по разным там Могадишо и берегам слоновой кости. Потому что везде -- пыль, ржавая земля, куски неприбранного железа, недостроенные коробки и смуглые мордочки местного населения, для которого ты ничего не значишь так же, как и для своего. Иногда еще вдали синее море.

Как бы ни начинались путешествия, заканчиваются они всегда одинаково: своим углом, своей кроватью, упав в которую забываешь только что происшедшее. Вряд ли я окажусь когда-нибудь снова в этой стране и в этом полушарии, но, по крайней мере, кровать моя по возвращении еще более "моя", и уже одного этого достаточно для человека, который покупает мебель, а не получает ее по наследству, чтоб усмотреть смысл в самых бесцельных перемещениях.

1978

## **Василий Аксенов**

***Об авторе:***

***Василий Аксенов: интервью***<sup>88</sup>

***"Американским писателем я так и не стал"***

---

88 Опубликовано в журнале: [«Иностранная литература» 2003, №1](#)

Василий Аксенов регулярно наезжает в Россию, но, как признается сам, писать теперь может только за границей, поскольку там у него “за письменным столом остается только один собеседник — В. П. Аксенов”. В интервью он неоднократно отмечал, что писательство и эмиграция — довольно близкие понятия, что на чужбине литератор сам становится “носителем того, что необходимо для литературы, — пограничной ситуации”. Разумеется, разрабатывая тему “новых американцев”, мы не могли не поинтересоваться мнением человека, который не только пережил, но и описал личный опыт соприкосновения с США. Этим летом автор “Острова Крым” и “В поисках грустного беби” стал гостем нашей редакции.

”ИЛ”. Всегда рады вас видеть у нас в редакции, но сегодня мы пригласили вас с особой целью: хотелось бы узнать ваше отношение к феномену, которому посвящен весь этот номер, — к проблеме превращения человека, для которого английский не является родным, в американского писателя. Что вы думаете об этом, во-первых, как человек, который очень долго прожил в той культуре, во-вторых, как человек, который писал по-английски...

В. Аксенов. Ну, очень мало я писал...

”ИЛ”. Тем более интересно, почему больше не стали писать...

В. А. Дело в том, что, когда там пишешь по-английски, ты ждешь, что для читающей публики это будет желанная сенсация: иностранный автор перешел на новый для себя язык. Ничего подобного. Им кажется странным, если человек продолжает писать на своем языке. Русский пишет по-английски? — а как ему еще писать-то?! Давно пора, чего дурака валять. Когда я писал (не совсем, конечно, сам писал, меня друзья правили) “The Yolk of the Egg” (“Желток яйца”) — свою первую и единственную англоязычную вещь, я мыслил этот роман как своего рода литературную шутку,

мистификацию. “Я пишу по-английски”, знаете ли. Язык у меня несовершенный и никогда не будет совершенным. Я американцам хохму такую предлагал. Но там, как оказалось, хохмы не срабатывают.

Короче, я ожидал, что это будет принято хотя бы как интересная новость. Но все, кто эту книжку читал в Нью-Йорке, в издательском мире, говорили только о содержании, а о языке никто и слова не сказал. Содержание, кстати, их не устроило. Аб-со-лют-но! Вещь метафизическая, вещь странная — а они не любят странной литературы. Мой агент — когда я приехал туда, мне рекомендовали агента, он француз, живет всю жизнь в Америке — мне сказал: “Зачем это ты пишешь так... как-то все не по-нашему”. В Америке нет авангардной традиции — так он мне сказал. А те, кто писал в авангардной традиции, старались заниматься этим вдали от Америки. “Потерянное поколение” — они же были в эмиграции все-таки, в “self-imposed”, в добровольной.

В общем, они меня забодали, этот мой “Yolk of the Egg”, и книжкой его никто не напечатал. Он выходил кусками в разных университетских журналах. Во Франции, правда, книжка вышла, по-французски, переведенная с моего англоязычного оригинала.

“ИЛ”. А как ее восприняли французы?

В. А. Без особого негодования. Для них-то это была переводная вещь.

“ИЛ”. А французов содержание устроило?

В. А. Французов более-менее. Но и французы тоже, знаете ли... Попроще надо писать. Я читал в русской газете интервью французского издателя Антуана Галлимара, который, кстати, завернул мой последний роман, но, к счастью, там другой издатель нашелся... И вот Галлимар говорит: “Славу нашему издательству создали несколько поколений очень сложных писателей. Ни одного из них я бы сейчас не напечатал”.

Это нынче международное поветрие. Вообще модернистский роман, роман-самовыражение, байронический, — он же умирает. Я об этом и говорю, и пишу. К сожалению, это так. Сейчас роман уходит туда, откуда пришел, — на базар. Становится достоянием коммерции — что нормально.

“ИЛ”. Что же тогда делать писателю?

В. А. Те, кто хочет писать романы, должны заранее рассчитывать на узкий круг читателей. Работать для активного читателя — такого, о ком Белый сказал в свое время, что активный читатель не глазами, а ртом читает. Вот единственный выход. А так от романа остается одно название — “роман” или “novel” — и то, и то от рынка произошло: “Сюда! Сюда! Новинка! Novel! Покупайте! Le roman!” Роман — любовная история без автора, авторов же не было, двести лет никто не интересовался, кто это там пишет, интересовало — как и сейчас — только развлечение. А потом дворянская элита захватила этот жанр и стала его развивать до невиданных высот самовыражения; байронический роман возник, и это продолжалось еще двести лет, а потом начало отмирать. Я думаю, что

наше поколение — последнее, для которого роман заведомо предполагает самовыражение. Нынешние все себе представляют совершенно иначе.

“ИЛ”. По-видимому, сейчас литература находится на перепутье. И старики, и молодежь, включая самих писателей, плохо представляют себе, что будет дальше. Отсюда очень сильный крен в сторону автобиографичности, и он вполне логичен: когда не знаешь, куда идти, описывай свою жизнь, называя всех своими именами. Вот что сулит большой читательский интерес...

В. А. Посмотрите, как давно в Америке не возникало никакого нового направления, литературной группы, литературной схватки. Куда-то все пропало... Здесь у нас еще что-то есть.

“ИЛ”. Но эта стабильность в американской литературе — нечто естественное или, наоборот, искусственное, диктуемое рынком, условиями издателей?

В. А. Скорее второе. Я же смотрю, у меня студенты — молодые писатели, среди них и талантливые люди есть, но писательские классы и вся ситуация ориентируют их совсем в иную сторону от того, что им говорю я. Мне приходится объяснять им теорию: ОПОЯЗ, Бахтин. Им об этом в университете больше никто не расскажет — а университет огромный. Свои вещи, как я замечаю, мои студенты пишут уже в расчете на то, что это возьмет Голливуд. Их проза напоминает синопсисы для голливудских проектов. А я им на своих занятиях говорю: “Мои уроки — не для больших денег. Они касаются художественной работы”.

“ИЛ”. А те люди, кто занимается писательством в вашем понимании этого слова, — как они себя в этой ситуации чувствуют?

В. А. Есть, например, писатели, которые пишут методом сказа, но их очень мало. Причем я заметил, что они как-то даже не стремятся перейти в коммерческую фазу — боятся чем-то пожертвовать. С их книгами очень трудно выйти на переднюю линию продаж. Сказ — это же ирония, а американцы, как ни странно, не любят иронию. Широкая публика не любит иронической интонации.

“ИЛ”. Не понимает или не любит?

В. А. Не понимает. Подозрительно относится. Когда вышел в переводе мой предпоследний роман — “Новый сладостный стиль”, “New Sweet Style”, — дошло до того, что журнал “Нью Репаблик” напечатал о нем огромную статью под названием “Stop the Carnival” — “Остановите карнавал!”. Остановите Аксенова! Было сказано, что это все вчерашний день, что книга уводит от проблем, что правды жизни не видно. И вообще, что это еще за игра, а? Сугубо соцреалистические упреки. Причем интересно, что реакция критики была довольно активная, и вообще что-то, а отклик критики на переводы моих вещей на английский всегда был очень активный. И мои издатели не понимали, почему при таком количестве рецензий и статей такие плохие продажи.

“ИЛ”. А какая в целом была реакция критики — положительная?

*В. А. Разная. На одном полюсе раздраженные, даже злобные рецензии, а на другом — восторженные. Причем между собой там не спорят, такого не бывает.*

*Если брать в целом, критика на книги чаще всего бывает либо хвалебной, либо кисло-сладкой, а негативная — резко-негативная, протест — встречается очень редко. Они же в основном озабочены тем, как бы продать побольше...*

*“ИЛ”. А рецензенты как-то отмечают, что вы русский писатель, ныне живущий в Америке, — что человек живет в одной стране, а пишет на языке другой?*

*В. А. Бегло отмечают, поскольку это все же переводные вещи. Но внимания на этом моменте не заостряют. Упоминают качество перевода...*

*“ИЛ”. А вы довольны качеством перевода?*

*В. А. Последнюю книжку перевел молодой парень, американец, космополит, живет на Крите — в Америке не любит жить. Русский знает хорошо и, по моему, здорово перевел. Я вообще сам участвую в переводе, фактически я сопереводчик, смотрю каждую фразу. С ним, например, мы сидели три месяца. Потом — он большой такой малый, с резкими движениями — он как-то так двинул по компьютеру, что весь хард-диск вдребезги. Все пропало, заново пришлось делать.*

*“ИЛ”. Вы ведь сам переводчик: совершенно замечательно перевели “Рэгтайм” Доктору. В свое время эта книжка заняла некое особое место, так мало кто переводил тогда. А как вышло, что вы занялись переводом?*

*В. А. Просто деньги нужны были. Это было, когда меня уже собирались выгонять из Союза писателей. И я где-то встретился с Кудрявцевой<sup>89</sup> — а я только что прочел “Рэгтайм” по-английски. И говорю: “Знаете, вот интересная книжка”. А она: “Переведите для нас”. И я перевел.*

*“ИЛ”. Продолжить не захотелось?*

*В. А. Я еще переводил с киргизского. Нет, с казахского. Были у меня еще переводы с английского: для “Метрополя” большой кусок из “Переворота” Андайка и пять маленьких пьес Теннесси Уильямса. Уильямса было очень интересно переводить. Вот и все мои достижения...*

*Так вот, я понял, почему при таком количестве рецензий американские читатели мало покупают: они рецензий не читают, они читают в основном коммерческие объявления. Смотрят, если на целую страницу книжного приложения дается реклама, значит, серьезная книга, в нее вложены деньги. Четверть страницы — книга менее серьезная, а если вообще ничего нет — о чем же тут говорить?*

*“ИЛ”. Привлекает ли американского читателя экзотичность — когда выходцы из Азии пишут об Азии, о Китае 70-х, к примеру? Можно ли это*

---

<sup>89</sup> Татьяна Алексеевна Кудрявцева — переводчик с английского; на протяжении многих лет работала в редакции “ИЛ”.

считать определенным литературным направлением — книги, экзотические по содержанию?

*В. А.* Да, скажем, Маркес своей невероятной славой обязан в основном экзотике. У Борхеса никогда такого не было, а ведь Борхес получше... Ну, а китайцы, пишущие по-английски, очень активно вносят эту экзотическую струю, намеренно, хотя и не очень успешно — бестселлеров я что-то не припомню, но продажи приличные, и как-то они существуют.

*А вот русского элемента в литературе, о которой вы говорите, почти нет. Я даже не могу вспомнить, кто бы так активно стал писать по-английски, хотя уже выросло целое поколение детей, увезенных в Америку, и студентов таких в писательских классах у меня было много, но никого выдающегося что-то не знаю...*

*Что до русских переводных книг, то они сейчас в полном загоне. С одной стороны, мы не экзотика. С другой стороны, то, что сейчас возникает здесь в смысле литературы, в Америке никому не интересно читать, потому что эти произведения не соответствуют их стереотипам. Американцы как-то не стремятся к открытию новых видов, а просто чувствуют: это что-то не то, это не соответствует сложившемуся у них образу России — несчастной страны, которая вызывает сочувствие и жалость, но очень скучна. Достаточно давно мы русской компанией стояли где-то на американской улице, долго о чем-то болтали и смеялись. Вышла старушка, спросила: “Это на каком языке вы сейчас так смеялись?” — “На русском”, — говорим. “Да? Непохоже на русский”. Вот оно, отношение.*

*“ИЛ”.* Не бывало ли, чтобы какие-нибудь простодушные читатели или рецензенты принимали вас за американского писателя? Книжка вроде по-английски...

*В. А.* Не раз, не раз. В журнале “Харперс” по поводу “Нового сладостного стиля” было вполне серьезно сказано, что Аксенов написал “a Great American Novel”<sup>90</sup>. И дальше: давненько никто из американских писателей не создавал “a Great American Novel”, не обращался, так сказать, к этому жанру. И тем не менее крайне отрицательная была рецензия.

*“ИЛ”.* Вы говорите, что рецензии на тиражи не влияют. А есть ли круг людей, которые реагируют на рецензии, читают, обсуждают, — те, для кого эти рецензии все-таки пишутся?

*В. А.* Это очень узкий круг. Там “возникает мнение”. Вообще это очень странная ситуация. Какой-то “Леонид Ильич” произносит “есть мнение”, и никто не знает, кто это сказал... И по политическим вопросам тоже. В литературе же это влияет на... на ситуацию, что ли...

*Двадцать один год, что я жил в Америке, я печатался в гигантском издательстве “Рэндом хаус”, они чего только не издают. Меня же они выпускали абсолютно не для денег. Никому там и в голову не приходило, что мои книги принесут хоть какой-то доход. Они руководствовались какими-то*

---

90 “Эпохальный американский роман” (англ.).

своими мотивами – соображениями престижа, что ли. “У нас есть такие авторы, значит, мы сохраняем литературную независимость”.

“ИЛ”. А какими тиражами они вас издавали?

В. А. Вот самая сложная книга — “Ожог”. А продано более тридцати тысяч экземпляров. Это единственная моя американская книга, которая принесла роелтиз<sup>91</sup>. Остальные — нет, даже “Московская сага”, хотя про нее говорили, что это “новый Толстой”. Во Франции “Московская сага” была бестселлером, в Америке — нет.

А потом отношение “Рэндом” ко мне как-то изменилось – и тут опять дело в пресловутом мнении. Я знаю, кто конкретно меня топил — литературные круги очень узки, там все друг друга знают, — но не в этом дело. Пока есть определенное “мнение”, данная фигура — я или кто-то еще — остается на поверхности. Но теперь другая ситуация. Это “мнение” совершенно никого в “Рэндом хаус” больше не интересует, так как издательство продано немецкому концерну “Бертельсманн”. Причем в “Рэндом” все время твердили: “Смена собственника на нашу независимость не повлияет”, но она повлияла, и очень сильно. И теперь мой издатель, сам писатель, очень славный парень, говорит: “Извини, но у твоих книг очень плохие sales figures<sup>92</sup>, их мало покупают. Ты, говорит, literary celebrity, но very poor-selling one”<sup>93</sup>. Раньше главный доход “Рэндом” поступал от поваренных книг, и оно могло себе много чего позволить — да и сейчас может. Но почему-то не позволяет. Короче, изменилась общая тенденция по отношению к таким книгам — к байроническому роману, условно говоря. Считают, что он никому не нужен, что главное — рассказывать занимательные истории. Также я думаю, что ко мне лично изменилось отношение, тем более, что это стал немецкий концерн, а в Германии я в черных списках после двух ссор на ПЕН-клубе с Гюнтером Грассом. Все мои германские издатели перестали меня печатать. Теперь и “Рэндом” ... Но я сейчас ухожу из университета. И вообще уезжаю из Америки. Осталось отработать два весенних семестра, а больше меня с этой страной ничего не связывает... Я даже думаю, что как из СССР ушел — “я от бабушки ушел, я от дедушки ушел”, — так теперь и из Америки... Купил на юге Франции маленький домик.

“ИЛ”. А во Франции будете преподавать?

В. А. Нет, во Франции я буду только писать. Буду чаще бывать в России, поскольку поближе ездить.

“ИЛ”. Как два десятка лет, прожитых в Америке, повлияли на вас как на писателя? Литературная среда другая, какие-то впечатления...

---

91 Роелтиз (royalties, англ.) — в зарубежной издательской практике часть авторского гонорара, складывающаяся из отчислений с каждого проданного экземпляра (после достижения заданного уровня продаж).

92 sales figures (англ.) — уровень продаж.

93 Литературная знаменитость, но очень плохо продающаяся.

*В. А. Американская литературная среда на меня совершенно не повлияла. А вот американский университет — очень сильно. Я стал другим человеком. Я был богемщик, писатель хемингуэвина, короче говоря. А за двадцать один год жизни в американском университете я, конечно, превратился в американского интеллектуала. Отчасти. Представьте: в кабинете сидят француз, перс, китаец — и все это американская университетская среда. Я был членом этой среды и, вероятно, им останусь. Это не значит, что я перестал быть русским писателем. А вот американским писателем я не стал ни в какой мере. Они меня не приняли — или я не принял их. Может быть, я не понял какой-то системы координат.*

*Кстати, у меня есть глубокое убеждение, что человек, рожденный в другой стране, уже не станет американцем. Американцем можно только быть. Не зря есть такой закон, что президентом может стать только родившийся в США.*

*Когда я приехал — а я же многих писателей знал по их визитам сюда и здесь с ними нормально общался, — эти мои знакомые у себя на родине оказались очень малоконтактными людьми. Единственные контактные — это журналисты, которые уже заразились российским стилем общения, вот с ними было легко, можно было говорить на любую тему. А писатели там очень замкнуты, сидят в этих Коннектикутах, Вермонтах — дикий отрыв, даже в Переделкино у нас писатели ходят кругами...*

*“ИЛ”. А есть в Америке писатели, которые вам по душе, за чьим творчеством вы следите?*

*В. А. Я слежу за творчеством своих ровесников, за Джоном Андайком, хотя он очень сдал, пишет крайне вяло. Зато у Филипа Рота новая энергия. Есть любопытный писатель, который пишет в сказовой манере, — Паджет Пауэлл, сорокалетний. Из того же поколения Джонатан Дий. Но все это тоже не так чтоб очень... Вообще масса людей, которые пишут добротню, — и ничего больше о них не скажешь.*

*“ИЛ”. Вернемся к истокам. Наверное, среди литературных кумиров вашей молодости были и американские авторы...*

*В. А. Да, действительно. Даже такой совсем забытый сейчас писатель, как Джон Дос Пассос, — его в Америке никто не знает, кроме отдельных левых интеллектуалов, — но, вообще говоря, Дос Пассос — это неслабо. И поэзия Эзры Паунда — я очень люблю Эзру Паунда, хотя сволочь большая. Знаете, когда после Сталина все это стало доступно, американцы 30-х годов произвели очень сильное впечатление. Мы их открывали раньше, чем свой собственный авангард. Я и Андрея Белого прочел гораздо позже, чем Хемингуэя...*

*“ИЛ”. Вы в молодости, наверно, как-то воображали себе Америку. Этот образ потом совпал с реальностью?*

*В. А. Да в общем, как ни странно, она существует — та Америка, которую я воображал. Ее культура... эти клишированные образы ковбоев, rednecks<sup>94</sup>, — эти люди есть на самом деле, я к ним очень хорошо отношусь, я любил их простецкую деревенскую музыку: bluegrass, country<sup>95</sup>, не говоря уж о джазе. Это все существует, но мало-помалу тоже подвергается размыву, находится под угрозой коррозии.*

*“ИЛ”. Оно живет за счет внутренней энергии или как-то искусственно поддерживается?*

*В. А. Энергия существует. Это люди, на которых по сути стоит Америка, — простые, мускулистые. И, я бы сказал, положительные. Именно они приезжают за тобой, если ты заболел, вбегают в дом и спасают. И это очень хорошие люди.*

*Боюсь, что по этой Америке я буду скучать. Впрочем, если буду скучать, сяду на самолет и прилечу...*

*Москва, июль 2002 года.*

*Запись беседы С. Силаковой*

### **Бумажный пейзаж<sup>96</sup>**

...да и пошел считать столбы, пока не зарябит тебе в очи...

Гоголь

#### **Между Лермонтовым И Пушкиным**

Зовут меня Игорь Велосипедов. Можно просто Игорь. Публика обычно думает — какая современность! Спортивное динамичное сочетание, звучит просто как псевдоним, даже вспоминается из советской поэзии, но ведь вы, кажется, не певец?

Публика, увы, становится жертвой недоразумения, моя несчастная фамилия таит в себе, как это ни странно, настоящую историческую неожиданность. Боюсь, вы удивитесь, узнав, что эта фамилия появилась на Руси, по крайней мере, за двести лет до изобретения велосипеда. Эта латинская фамилия принадлежала лицам духовного звания и переводилась очень просто Быстроногое. Велоси, с общего разрешения, — быстрота: пед, к общему сведению, нога, ступня, товарищи.

Быть может, был когда-то в древности какой-нибудь легкий на ногу служка, которого посылали за... ну, за чем-нибудь важным, ну, а прапрадед мой пел дьяконом в соборе города Вышний Волочек еще в начале XIX века.

Если что— то хронологически тут не сходится, добавьте по своему вкусу еще хоть пяток «пра»: не поверите, не обижусь. Ни к каким записям вас не отсылаю, а если сами на что-нибудь натолкнетесь, будьте осторожны -бумаги нередко врут.

Верьте, братцы, никакого у меня нет чванства в связи со своей старинной фамилией, и вовсе я не торчу на этих модных нынче «поисках корней», а вот просто иногда засасывает некоторая тоска отчуждения и начинается что-то вроде стихийного недовольства отдельными шероховатостями нашей, в целом, интересной, жизни.

94 Rednecks (англ.) — букв.: “красные шеи” — так в Америке, часто с оттенком презрения, принято называть простых грубоватых людей, обычно белых жителей Юга..

95 ountry (англ.) — букв.: деревенский, сельский — кантри; стиль поп-музыки, основанный на народных песнях Юго-Востока и Юго-Запада США; bluegrass (англ.) — букв.: пырей — блюграсс; одна из разновидностей музыки кантри.

96 <http://bookall.ru/bletpTue.html>

Когда народ восстанет, он прежде всего уничтожит различные архивы и картотеки и восстановит более натуральные связи между людьми мимику, жестикуляцию, игру глаз, в конце концов, язык.

При слове «Велосипедов» многим приходит в голову период Реконструкции, а ведь это неестественно, другие конечно же воображают Начало века, большущие трисиклеты, это уж, виноват, просто примитивно. Простите, совершенно не понимаю некоторых молодых особ с их бесконечным и довольно утомительным ерничаньем, их прыжки и ужимки — месье Велосипедов, месье Велосипедов! Ну что это за обращение? Нельзя ли просто Игорь?

Ну что в этом остроумного или там обидного, оскорбительного? Ведь если бы я, предположим, жил в Париже, меня бы так и называли бы — месье Велосипедов, с ударением на последнем слове, пардон, слоге. Может быть, что-то есть смешное, обидное, оскорбительное в словечке «месье»? Вот, скажем, есть у нас некоторые женщины, которые обижаются при вежливом обращении «мадам» — какая я тебе мадам? — вплоть до вызова милиции, как будто ее проституткой назвали, а ведь это просто, товарищи, получается так из-за невежества. Ведь для французского населения и «мадам» и «месье» обычные обращения, когда-то они и у нас употреблялись, когда-то и у нас, товарищи, не все были товарищами, различался пол.

А ведь тех молодых особ, которых я имею в виду, тех, что употребляют мое имя в порядке глупого юмора, невеждами ведь не назовешь.

Не оттого ли я так по-страшному заборзел?

Вот вообразите, сто лет назад, в 1873-м, в разгаре царской реакции, встречаются в Петербурге какие-нибудь Велосипедов и Добролюбов, так ведь ничего же в самом деле не возникает же постороннего, ведь все протекает, можно сказать, вполне естественно, просто встретились друг с другом Быстрая Нога и Любящий Добро, вот и все, не так ли?

Но отчего же все-таки я той весной так по-страшному заборзел?

Однажды... в субботу это было... Вот, господа, прошло что-то около десятка лет с начала этой истории, я сижу в кресле с откидывающейся спинкой, человек в очках с меняющимися линзами и с некоторыми дефектами слуха, и пытаюсь вспомнить простейшую вещь — в субботу ли это было? В субботу ли? Казалось бы, никакого значения не имеет день недели, а вот почему-то упорно цепляюсь — нет, не в пятницу, не в пятницу, не в пятницу!

В пятницу-то как раз, как обычно, подписав все пятнадцать копий акта поршневых испытаний, Велосипедов ушел из лаборатории ровно в пять, по звонку, хотя товарищи предлагали немного задержаться: Спартак Гизатуллин отмечал премию за внедрение рационализаторского предложения. Премия была ерундовая, едва-едва на зное количество «чернил», и, выставляя это хозяйство на столе, Спартак сказал с кривоватой, в общем и целом слегка волчьей, улыбкой: больше от меня рацпредложений пусть не ждут, гребать я хотел всю эту Организацию. Под словом «организация», с прискорбием сообщаем, он обычно имел действительно в виду все целое — аббревиатуру из трех сосущих букв и одной рычащей.

Увы. Велосипедов в этот хороший вечер не смог присоединиться к сотрудникам. Добрые ребята полагали его ровней, но они не знали о его внелабораторной жизни, не знали, например, о его дружбе с молодой художницей Фенькой Огарышевой, о его вхожести в артистические круги Москвы, тем более о его внутреннем мире, в котором он видел себя не инженером в скромной лаборатории, но мировым кинорежиссером, постановщиком фильма о всенародном восстании.

Итак, он ушел и стал завихряться на людных «мятежных» перекрестках — взлетала желтая грива, хлопали полы длинного черного пальто. Ибо Дул Сильный Ветер.

И все— таки начало нашей истории следует отнести к субботе, ибо пятница, несмотря на вдохновение, прошла рутинно. Фенька на звонки не отвечала, где-то шаталась, потому и Велосипедов весь вечер провел в городе, переезжая с места на место будущих съемок, разводя мизансцены огромного общегородского восстания, формуя исторические кадры -штурм Кремля, охваченный пламенем Мавзолей имени Ленина, баррикады на площади Дзержинского — и чередуя эту эпипику (в простоте душевной полагал еще в этом слове два «п», ясность пришла потом), — и чередуя ее, конечно, с лирикой: молодая художница бросила

дом, мечется по мятежной столице в поисках друга, постановщика всей этой драмы, и вот тот уже идет к ней навстречу по горящей улице, легкий на ногу, с летящей искрящейся шевелюрой, они сближаются на общем плане... и наступает момент трансфакции... о трансфакция, о трансфакция!

А наутро, в субботу, значит, завтракая яйцом и кефиром, Игорь Велосипедов почувствовал жгучую тоску: жизнь не удалась.

Вот в школе писали сочинение на тему «Образ „маленького человека“ в русской литературе XIX века», так что же получается, о самом себе, значит, писал, значит, железно вырастаю в Акакия Акакиевича, как-то не хочется в это верить.

А между тем уж скоро мне тридцать, а ведь ничего не добился, и что самое прискорбное, и никогда не добьюсь, в том смысле, что даже и на хорошую дубленку рассчитывать не приходится, даже и до А. А. не дотягиваю. Давайте порассуждаем. В лаборатории вся секция поршней покоится вот на этих плечах, а все лавры достаются Ушакову, только лишь потому, что он защитил фальшивую кандидатскую диссертацию. Ушаков получает 250, Велосипедов — 150, извольте прожить, если пара ботинок тянет за полета, а играть с государством в кошки-мышки, простите, не обучен, воспитывался на примерах энтузиазма.

Возьмем теперь идею фильма, вряд ли она все-таки осуществима, вряд ли возможно будет кого-либо ей в глубоком смысле увлечь, ведь существует в этой интересной творческой затее одна загвоздка — против кого восстание? Ведь невозможна же революция против революционных владык. Случись такое, получится настоящая контрреволюция и весь фильм окажется ущербным в идейно-художественном отношении, а это недопустимо.

Увы, Фенька еще слишком молода и глупа, чтобы понять все эти проблемы, и вот в результате сидит недюжинная натура в полном одиночестве на так называемой кухне так называемой квартиры над так называемым диетическим яйцом перед так называемой корреспонденцией, стопкой конвертов с неизвестным, но предполагаемым содержанием, хорошего ждать не приходится, так бы и смахнул все в ведро, говна-пирога.

Он обычно всю эту мерзость — официальные послания, счета на электричество, газ, воду, погашения по ссуде, предупреждения кооператива, извещения агитационного пункта и избирательного участка, календари Ленинского университета миллионов, в который вот недавно записали по месту работы, — весь этот хлам, не распечатывая, складывал на кухне до субботы, а уж в субботу позволял себе некую странную игру — расправу над бессмысленной бумажной швалью: рвал, мял, грубо отшвыривал.

Счета, к сожалению, нельзя было повыбрасывать — подлежали оплате, но уж зато предупреждения жилтоварищества «предлагаем погасить задолженность по ссуде до 1 июля 1973 года, в противном случае дело будет передано в юридические органы» или приглашение там на регистрацию для участия в выборах в Верховный Совет, такие бумаженции подвергались обычно шумному надругательству, причем выкрикивались такие непристойности, которых Игорь Иванович не употреблял даже во время учебы в Автодорожном институте.

В ту субботу кучка оказалась повыше обычной. С первого взгляда было видно, что присутствует что-то внеординарное. Так и оказалось, пожалуйста — вызов на медкомиссию в военкомат, значит, опять полезут в жопу с зеркальцем, почему-то на этих медосмотрах больше всего их интересуют зады потенциального войска. Раздвиньте руками ягодицы, нагнитесь, надуйте! Новая запись в личное дело младшего лейтенанта бронетанковых войск запаса И.И. Велосипеда: геморроидальные узлы не обнаружены — значит, годен.

Что ж, забирайте! Восстание в войсках — какая тема! Танки на перекрестках. Туман. Два младших лейтенанта в одной башне. Он и она... Она — у него на коленях?... Так или иначе — Сенатская площадь. Константина! Константина!

А вот если бы при надувании выскочила б шишечка — свободен! Свободен, как партизан, как абрек!

А вот уж и совсем нечто еще более неожиданное — вызов к следователю Уголовного розыска свидетелем по делу №108. Когда говорят «засосало под ложечкой», подразумевают, должно быть, реакцию кишечного тракта на нервные переживания. Произошло бурчание, движение, лопнуло несколько пузырьков, пока не сообразил, что это, должно быть, по делу Гриши Самохина, бывшего ассистента, который устроился арматурщиком на станцию автосервиса, ну и, видно, колесико какое-нибудь унес, маловиновные люди всегда попадают, в общем, посажен.

Не очень приятно попадать в прокурорские записи, даже если и просто свидетелем, все ж таки очень как-то противно, не этому нас учили, жизнь хочется прожить как-то гордо, без следователей, без комиссий, на многое ведь не претендуешь.

Пока Велосипедов вот таким образом полемизировал со своей корреспонденцией, то есть швырял ее и рвал на мелкие части, будильник на кухне пискнул — 10! Он вздрогнул и неуверенно обратился к телефону. До десяти Феньку лучше не трогать — просто матом покроет, ну а сейчас можно уже как бы небрежно, как бы спросонья, как бы с зевком...

— Алло, Фенечка?

— Да пошел ты!...

Он бросил трубку и даже ладонью немного в воздухе помахал, словно обжегся, посидел с минуту в некотором оцепенении и потом, ничего не поделаешь, взялся за следующий конверт.

Государственная автоинспекция СССР в ответ на его письмо извещала гражданина Велосипеда, что не видит возможности включения его в списки очередников на покупку легковой автомашины.

Что это значит? Почему они не видят этой возможности? Близорукие какие. Что это значит? Вопрос повис и размочалился, и только лишь одна последняя жилка еще давала занудливую нотку — что это значит?

В следующем конверте — ответ местного профсоюза работников автомобильной промышленности на его заявление с просьбой предоставить для самостоятельной обработки садово-огородный участок на канале Москва — Волга. Откровенно говоря, про это заявление Велосипедов просто-напросто забыл, потому что никогда никаких садоводческих идей не лелеял, в подпитии обычно говорил о себе «я дитя улиц», но вот как-то раз пошла в лаборатории такая параша — записываться на садово-огородные участки, вот, хлопцы, домики там построим, будем там пиво пить, вот тогда и он бросил заявление, одна кобыла всех заманила. Он вспомнил, что все уже вроде бы получили эти говенные участки, куча глины над тухлым каналом, и Лесарько, и Задоркин, и Гизатуллин, и даже Блюм, а вот ему почему-то отказали, отказали, отказали! У него потемнело в глазах — да почему же, какие же изъяны обнаружены по сравнению с Задоркиным, Лесарько, Блюмом? Неужто уж я самая ничтожная среди всех пария? Произнеся в уме это парящее слово, которое со школьных лет употреблял он с неправильным ударением. Велосипедов так и поплыл в течении своей мизерности — выходит, уже и не маленький я человек, а просто ничтожный, с чьей-то точки зрения.

Последнее письмо нанесло Велосипедову нокаутирующий удар. В ответ на просьбу о выдаче заграничного паспорта для поездки в Болгарскую Народную Республику по приглашению коллеги-инженера, члена соответствующей компартии Босена Росева начальник Фрунзенского районного ОВИРа гор. Москвы полковник Проженянтов сообщал: «Уважаемый товарищ Велосипедов И.И.! ОВИР УВД Мос-горисполкома уполномочен сообщить, что Ваша поездка в Болгарскую Народную Республику в настоящее время признана нецелесообразной».

Не— целесо-образной??? Кем это признано и кто уполномочил сообщить? Может быть, это просто дань вежливости, иначе как-то бессмысленно получается. Вежливо, конечно, вполне вежливо, в самом деле не придержишься. Можно и в самом деле сознание потерять.

Сознания он все же не потерял, хотя и поплыл в самом деле, еще раз поплыл основательно в русле своей ничтожности, но в то же время впервые в жизни почувствовал Игорь Иванович нечто особенное, нечто похожее на «восстание в столице», темнеющее и ярящееся, с гордым выдвиганием и подъемом подбородка, раздувающееся, расширяющееся, но в то же время и боязливо с тоской поджимающее ноги, ощущающее тщету тщедушной своей немощи среди могущественных тыщ.

Нынче модное есть слово — «судьбоносность», иной раз можно прочесть его даже в статье какого-нибудь прохвоста, просто можно руками развести от неожиданности.

Зазвонил телефон.

— Соскучилась, — басом протянула Фенька. Обычно от одного лишь этого звука, от зовущего этого баска чресла Велосипеда мгновенно опоясывал так-ска-зять — некий — если-можно-так-выразиться «дивный огонь», и, опоясав названные выше чресла, дивный этот огонь бурными пульсирующими магистральями направлялся в кавернозный резервуар, где совершал метаморфозу, всегда так по-детски восхищавшую молодую художницу.

В то утро, однако, вместо ответного мычания, свидетельствующего о появлении «дивного огня», Велосипедов разразился, что называется, «речью с балкона», как будто внизу его слушают матросы, а на дворе апрельские тезисы.

— Мне тридцать лет, я не ребенок! Я между Лермонтовым и Пушкиным! Лермонтову двадцать семь было! Пушкину тридцать семь было! Аркадий Гайдар в шестнадцать лет командовал кавалерийским полком!

Кто отвечает за всю программу по диаметру двенадцать и пять десятых?! Почему же всегда только «нет»? Почему меня заваливают одними отрицательными бумажками? Почему ни одного положительного клочка?

Кто уполномочивает? Кто признает нецелесообразной? СССР, мадам? Ваши вооруженные силы, атомные подлодки, хотите вы сказать? Весь наш народ со своим КГБ? Не верю! СССР — не бумажное царство, это могучая сила мира во всем мире!

В моем возрасте возглавляют народные революции, временные советы национального спасения, хоккеисты уже уходят на заслуженный отдых! Не верю! Отказываюсь верить в бумажные мудрости, наглость, наглость, за человека не считают, везде отказы, а на медкомиссию приглашают, значит, им от меня что-то нужно, обман, протестую!

— Ты меня заколебал, Велосипедов, — скучающим тоном протянула Фенька, а затем как бы вздернулась на другом конце провода и скомандовала: — В три часа на Маяковке!

### Джазовая Скрипка

В метро по дороге к площади Маяковского я почти ничего не видел вокруг себя, а только лишь и думал об утренних оскорблениях: эдакое свинство, иначе и не скажешь, капитальное свинство, просто полная несправедливость! Если бы хоть что-то из всего, а то ведь просто ничего!

Только лишь уже на эскалаторе почувствовал я приближение к Феньке, и в чреслах появились первые искорки «дивного огня».

Фенька разгуливала возле памятника Поэту Революции. Порывами дул северо-западный ветер, в связи с этим Фенька натянула поверх джинсов шерстяные оранжевые утеплители от щиколотки до паха, и сейчас столице демонстрировались длинные оранжевые ноги. Однако из быстро летящих холодных туч то и дело выскакивало ярчайшее солнце, освещение постоянно менялось: то вдруг все возбуждалось слепящими лучами, то наполнялось весьма специфическим серым уютом, а это, конечно, давало Феньке возможность нацепить на свой, скажем прямо, слегка, так сказать, длинноватый нос огромные, как велосипед (совпадение случайное), зеленые солнечные очки. Еще жива была в Москве память о свободе (в дореволюционном смысле слова), и это давало моей Феньке возможность не заправлять задний край клетчатой рубашки в брюки, а позволить ему торчать из-под старой кожаной куртки наподобие хвоста. В общем, у нее вид был не вполне положительный, отчасти как бы не совсем советский.

Где— то здесь в районе Маяковки жил ее мастер, почетный, трижды лауреат Гвоздев, и она частенько таскала ему на просмотр свои холсты и рисунки.

— Велосипедов! — закричала девка на всю оживленную площадь. С удивительным удовольствием произносит она всякий раз мое имя, не исключено, что видит в нем что-то Декадентское. Иной раз кажется даже, что а и полюбила-то меня из-за моей фамилии. Вспомним первое знакомство. Случайное соседство в метро. Девушка, разрешите представиться. Игорь Велосипедов, инженер. Бух, бух, сказала девушка. Велосипедов, я твоя!

В тени огромного памятника она бросается ко мне и прижимается своими чреслами к моим чреслам. Это для нее вроде как бы антимещанская демонстрация, ей всегда кажется, что взоры всех присутствующих обращены, конечно, только на нее, но воображаемое не всегда соответствует действительности, разве что какая-нибудь тетка сплунет на бегу — у, чита американская.

— Такси! — кричит Фенька, ее не обманешь, сразу почувствовала волнение «дивного огня».

— Подожди, Ефросинья, — как старший ребенку говорю я. — Чего ж так сразу? Давай погуляем. Как дела в институте?

Девка машет двумя рукавицами — — одной желтой, другой зеленой. А у меня в кармане всего семь рублей, а до зарплаты три дня, такси приближается.

Родители Ефросиньи Огарышевой трудятся на дипломатическом поприще, то есть за рубежами нашей страны, нелегкая, согласитесь, доля, а дочь тем временем обучается в плане художественного образования, проживая одна в трехкомнатной квартире возле метро

«Октябрьская», а из этого легко сделать вывод, что случилось бы с девочкой, не повстречай она вовремя порядочного человека.

Она влечет меня из такси к своему подъезду будто бы по воздуху. Лифт, хватание меня руками за определенное место, хорошо, что поднимаемся одни.

Из— за дверей ее квартиры на всю лестничную клетку разносится синкопический визг инструмента Стефана Грапелли. Ничего другого я и не ожидал, всегда в отсутствие хозяйки торчит какая-нибудь шпана, балдеют под «джазовую скрипку». Это у них сейчас новый бздык-задвинулись на французах, Грапелли, Превен, Жан Люк Понти, как будто, значит, уже пресытились всеми остальными американцами, слушают только «джазовую скрипку».

Фенька распахивает двери. Балдеете, чуваки? Угу, балдеем! Двое стоит посреди комнаты — Валюша Стюрин, ростом под два метра, и Ванюша Шишленко, тоже немаленький, слегка колеблют свои конечности, двигаются в такт Грапелли.

— А у нас транс-факк-кация, транс-факк-кация, — быстро-быстро пересекая комнату, поясняет Фенька, распахивает, захлопывает, роняет, поднимает, на ходу стаскивает штаны.

Ну и последующее в безобразно захламленной спальне: томительное и сладостное, с бормотаньем, с легким повизгиванием, чмоканьем, переворачиванием, подгибанием, разгибанием на фоне непрекращающейся удивительной работы, в принципе близкой к моей специальности, если отвлеченно сравнивать с деятельностью поршневых систем, и далее — сравнительно не изученное, хотя и напоминающее смешивание различных начал в карбюраторе внутреннего сгорания, таинственный момент впрыскивания горячей смеси, и, наконец, финальное включение — ре-во-лю-ция, штурм Центрального телеграфа.

Мерси, месье Велосипедов, — прошептала Фенька, отдышавшись.

Я все еще некоторое время целовал ее смешное личико, скуластое, остроносое, маленькие глазки и чудеснейший пунцовый рот.

Когда мы вышли в гостиную, Стюрин и Шишленко по-прежнему покачивались под музыку.

— Джазовая скрипка! сказал я. — Вот это штука! — Мы торчим на джазовой скрипке, — сказал Стюрин, глядя в потолок.

— Полностью заторчали на джазовой скрипке, — подтвердил Шишленко.

— Джазовая скрипка! — Фенька застыла с поднятым пальцем, глубокомысленно вникая в нарастающий свинг Понти.

На несколько минут воцарилось молчание, все присутствующие вникали, и я в том числе, хотя мне эта джазовая скрипка, честно говоря, была до ноги, конечно же, в глубине души я предпочитал старый добрый саксофон старого доброго Джери Муллигана или старое доброе пианино старого доброго Оскара Питерсона.

— Ну что там у тебя случилось? — спросила Фенька.

— Где? — Я что-то сразу ее не понял.

— А что, и Велосипедов стал разбираться в джазовой скрипке? — надменно спросил Валюша Стюрин.

Я промолчал в ответ на наглость.

— Хочешь, Велосипедов, тест на художественность? — спросил Ванюша Шишленко.

— А нельзя ли просто Игорь, Ванюша? — поинтересовался я.

— Можно. Итак, просто Игорь, лови! Пошел козел в кооператив, купил себе... чего?

— Знаю! — вскричал я. — Презерватив!

— Дудки! — бешено захохотал Шишленко. — По легкому пути пошел, милейший! Поднатужься!

Я поднатужился.

— Аперитив, что ли?

— Дудки! — снова бешено хохочет Шишленко. — Альтернатив, мой милый Игорь! Купил себе альтернатив! — и хохочет, ну просто разрывается, ну просто на пол валится, в самом деле, оказывается, не лишен Ванюша могучего чувства юмора.

— И все-таки Велосипедов начал разбираться в джазовой скрипке, — со снисходительностью короля произнес Валюша Стюрин. — Я лично ценю в нем эту большую музыкальность.

— Он и на театре торчит, — заметила Фенька. — Мы с ним немало обсудили театральных премьер, он поклонник Олега Еф...

— Негодяи! — вскричал я. — Пошли бы вы в жопу! Наглые бездельники! Среди вас я единственный, кто... — и, не договорив, я направился к дверям.

— Уходит! — как в греческой трагедии заламила руки Фенька. — Предатель! — и перешла на малотеатровскую скороговорочку — Получил от девушки удовольствие, поматросил и бросил, держите, люди добрые!

Я уходил. Она бросалась. Оскорбительная дурацкая сцена закрывания двери своим телом, псевдодраматического хватания руками, в то время как Валюта и Ванюша буквально агонизируют от хохота на грязном полу. Нет, невозможно больше терпеть идиотские шутки и паршивое высокомерие этих так называемых художников и поэтов, молодых бездельников, околачивающихся по Москве со справками о плоскостопии или психической неполноценности вместо службы в рядах вооруженных сил.

Все вскипело во мне заново. Меня-то как раз призывают на экспертизу — отечеству нужен мой зад, а между тем при помощи вороха, самума этих гнусных бумажек общество отказывает мне во всем, все утренние унижения всколыхнулись, довольно, довольно, и как еще у этой девки хватает наглости предлагать мне какой-то салат?

Салата не отведав,  
Отправитесь вы в ад!  
Месье велосипедов,  
Отведайте салат!

Так она поет, припрыгивает и хлопает в ладоши.

Между прочим, странная и довольно обнадеживающая привычка: после того, что она называет кинематографическим термином «трансфакция», Феньку обычно охватывает желание накормить партнера, то есть, надеюсь, именно меня. Бросается на кухню, что-то варганит, невероятное вдохновение, устоять трудно.

А тут вдруг оказалось, что салат для меня был приготовлен заранее, итак, я сдался.

— А ну, сваливайте, чуваки! — приказала она своим друзьям. — У нас с Велосипедовым начинается интим.

— Мы тоже жрать хотим, Фенька, — пожаловались ребята.

— Позже приходите, может, чего и останется, позже, чувачки, позже, летом, летом...

Может быть бесцеремонной. С чужими. Однако может быть и милой. С другом сердца. Как легко сервирует, будто ангел летает. Может быть даже опрятной. Какой она будет, в самом деле не скажешь, ведь девке всего двадцать.

Паштета не отведав,  
Вы не уйдете,  
Месье велосипедов,  
Отведайте паштет!

Она поет, летая вокруг стола и предлагая мне ложечку прямо в рот, приседает в реверансе. Наконец устраивается напротив, поджав под себя ногу, подбородок на кулачок.

— Итак, что же случилось? Почему утром был такой хай?

— Знаешь основной закон диалектики? Количество унижений переходит в качество возмущений.

— Браво, Велосипедов!

— А может, просто Игорь?

Я повествую с горечью обо всех этих подлых извещениях и официальных ответах. Зачем они отвечают нам, маленьким людям государства? Уж лучше бы не отвечали, оставалась бы хотя бы надежда, которая впоследствии просто тихо бы отмирала.

— Неверно, — поправляет меня девка. В молчании государства всегда присутствует дракон.

— Это откуда? — интересуюсь я.

Она молчит, не отвечает, давая понять, что это как бы она сама сочинила, экспромт.

— Я заслужил в конце концов чего-то лучшего, — говорю я. — В самом деле чего-то более качественного. Обладаю опытом и трудолюбием как-никак. Даже ведь и воображением все же природа не обидела, есть и другие положительные качества...

— Есть! Есть! — с жаром подтверждает она, мой женский друг.

— Вокруг процветает блат, блатным все доступно, такова современная система перераспределения в противоречии с тем, что мы учили. Какие качества она развивает в

человеке? Сугубо негативные. А вот я хочу, не отказываясь от своих положительных качеств, получить то, на что я имею право как житель зрелого социализма, ничего более, Ефросинья.

— Идея, — говорит она. — Ты должен написать основное письмо.

— Какое?

— Основное. Решающее.

— Кому, сударыня?

В задумчивости она зашагала по комнате балетным шагом, временами застывая в позиции большой батман.

— Бух, бух, — сказала она из этой позиции. — Нужно писать не во всякие там инстанции, а просто тому, кому принадлежит власть. А кому принадлежит власть, Велосипедов?

— Рабочему классу, — сказал я.

— Тепло, Велосипедов! — вскричала она. Огромные прыжки по комнате.

Нельзя не обратить внимания на некоторые фотографии, висящие здесь на стене посреди Фенькиных цветковых разработок. Вот, например, наши, то есть здешние родители, товарищи Огарышевы на фоне Эйфелевой башни города Парижа. Загадка природы — каким же образом у такой пары булыжных лиц выросло противоположное дитя, длинненькое, тоненькое и со смешной рожей?

— Власть в нашей стране принадлежит народу! — сказал я.

Каскад прыжков, еще теплее, Велосипедов.

Или вот еще, пожалуйста, фотошедевр. На сахарном пляже Копакобаны ряшками в объектив расположилась очаровательная компания, сотрудники нашего внешнего учреждения. На переднем плане наш папаша, а рядом дружок, незабываемая физиономия. Почему для такой работы отбирают у нас явно не лучших?

— Партия — хозяин!

— Попал!

Восторженные взмахи рук и ног, бурная танцевальная импровизация, как «Танец с саблями», только без оных. И все ж таки спасибо вам товарищи работники наших внешних учреждений, за то, что у вас вырастают подобные дочки, самым искренним образом спасибо вам за это, дорогие товарищи.

— Партии нужно писать основное письмо, — пришел я к заключению и вспомнил к случаю нечто из классической лирики. — Партия — рука миллионнолапая, сжатая в один дробящий кулак.

— Поражаешь, Велосипедов, — вдруг тихо-тихо прошептала Фенька и как будто задумалась, а потом даже как-то вроде бы вздрогнула, будто вообразила воочию этот дробящий кулак, вдруг она вся как-то обвисла, словно провисла в ней игровая пружина, и прошептала: — Уходишь, зло-Дей? Не уходи, пожалуйста. — Она ткнула пальцем в свою звукосистему и тихо запела под визг джазовой скрипки:

Сардинок

Подцепите

Месье

Отведайте сардин!

не

вы

отведав,

сплин!

Велосипедов,

## Без Сказуемых

*Генеральному секретарю ЦК КПСС*

*товарищу Брежневу Леониде Ильичу*

*от Велосипедова Игоря Ивановича,*

*инженера Секции поршней Моторной лаборатории № 4*

*Министерства Автомобильной промышленности РСФСР,*

*проживающего гор. Москва, ул. Планетная. д. 18. кор. 3, кв. 45,*

*кооператив «Мечтатель».*

**Многоуважаемый Леонид Ильич!**

*Мое письмо к Вам верой в направляющую и организующую роль нашей родной коммунистической партии, о которой в среде советских людей Вашими словами, Леонид Ильич: там, где Партия, там успех, там победа!*

*Однако среди нарастающих успехов и побед нашей страны отдельные бюрократические недостатки, и, в частности, несправедливость по отношению к скромному работнику советской науки.*

*Мы, советские люди, чрезвычайно высоко Ваше время, дорогой Леонид Ильич, каждая минута у Вас на укрепление мира во главе с нашим Ленинским ЦК. и все же с горечью на отдельных участках единичные глубокие разочарования и во г. в частности, в третий раз отказ на постановку в списки очередников на приобретение легковой машины «Жигули» волжских автомобилестроителей. Кому же. как не нам, автомобилистам-профессионалам на автомашинах с гордостью гордую марку товарища Тольятти, новые пути?*

*Это отрицательное решение, глубокое разочарование и ухудшение показателей энтузиазма в труде и политической учебе. Что хуже, параллельно садово-огородного участка 5 квадратных соток на канале «Москва» станция Опалиха полное разочарование.*

*Все окружающие сотрудники секции поршней по праву как образцовые строители коммунизма, а тут ведущий инженер И.И.Велосипедов вынужден на себя как на козла отпущения. Ленинский принцип «от каждого по способностям, каждому по труду» мог бы лучшее применение. Местком лаборатории моторов — это не «профсоюзы школа коммунизма».*

*Однако наряду с местными недостатками, огромная гордость при виде семимильными шагами нашей советской науки и общественной мысли, в отдельных случаях которой безобразия еще налицо.*

*В частности, принципы пролетарского стража Феликса Эдмундовича Дзержинского с его огромной человечностью не всегда на высоте в ОВИРе УВД при Московском городском совете депутатов трудящихся. Законное право каждого советского человека в гости к другу-коллеге Роско Боско коммунисту Болгарской Народной Республики для обмена опытом дальнейшего построения под угрозу провала. Оправданное недоумение необоснованный отказ с формулировкой, оставляющей желать лучшего: «ваша поездка в БНР признана нецелесообразной».*

*Многоуважаемый Леонид Ильич, к вам как к лидеру нашей великой партии, осуществляющей мечты человечества и контроль за выполнением решений XXXVIII съезда нашей родной коммунистической партии Советского Союза.*

*Игорь Иванович Велосипедов  
5 мая 1973 года.*

Много раз не без гордости перечитал Велосипедов свое сочинение, затем отправился на третий этаж своего кооператива к профессионалке Тихомировой, подарил ей вафельный торт и попросил перепечатать покрасивее. Профессионалка за каких-нибудь пять минут, не вникая, кажется, и в смысл, отщелкала пять великолепных экземпляров на отличной финской бумаге. Велосипедов даже немного приуныл от этой скорости, сам-то полдня убил на составление документа. Тихомирова же, прикуривая папиросу от папиросы и выпуская дым не только из ноздрей, но уже как бы и из ушей, спросила, не хочет ли Игорек прочесть «архилюбопытнейший» роман анонимного автора «Красный Ворон» о волнениях в среде комсомольского актива. Профессионалка известна была в кооперативе как перепечатница диссидентской литературы.

Увы, поклонился даме наш инженер, к сожалению, сейчас не до беллетристики, уважаемая Агриппина Евлампиевна, вы видите сами, какие дела. Он помахал только что отпечатанным письмом и заглянул профессионалке в глаза в поисках какого-то все-таки хоть небольшого отношения к «документу» (так в уме уже привык называть свой опус). Тщетно, никакого отношения к волнующему тексту он в этих светленьких благожелательных стареньких глазках не заметил, да и немудрено — каждый день перепечатывала Агриппина десятки десятков всевозможнейших режимоборческих произведений и научилась, хвала Аллаху, полностью отключаться от их содержания. Чтение — это было уже любимое дело досуга. Ноги под

пледом, чифирик, вафельный торт, пачка папирос «Казбек» — просуществует ли Советский Союз до 1984 года?

Велосипедов надел шляпу по этому поводу, в обычное-то время давал своей недюжинной шевелюре свободно развеваться под ветром Среднерусской равнины, и отправился в Отдел писем ЦК КПСС, что на углу Старой площади и улицы Куйбышева, напротив Политехнического музея и слегка в стороне от нашей основной штаб-квартиры.

По дороге, чтобы хоть слегка унять огромное и понятное волнение (кто у нас в России не волнуется, сближаясь с большими партийными телами), Велосипедов предавался обычным кинематографическим мечтам и разрабатывал кадры.

...Отвлекающий взрыв под памятником «Героям Плевны»... После Революции отстроим заново и еще краше!... Атакующая группа студенческой молодежи врывается в подъезд № 6 Политехнического музея. Да здравствует поэзия! Оружие в окна — предлагаем капитуляцию!

В Отделе писем ЦК КПСС в связи с воскресеньем оказался выходной день. Вот тебе раз — и здесь отдыхают по христианским праздникам! Впрочем, рядом со входом в Отдел писем в стене была дырка с надписью «для писем», что как бы слегка ставило под вопрос само существование Отдела писем. Эта мысль, однако, пришла Велосипедову уже после того, как он бросил в указанную дырку свое заветное. Бросив же, засомневался — правильная ли дыра, тому ли органу принадлежит, кому письмо предназначено, а вдруг какой-нибудь другой, какой-нибудь вспомогательный, ну, предположим, профсоюзный орган расположил здесь свою дырку «для писем»? Все же есть некоторая странность — вот дверь и сбоку вывеска «Отдел писем», а рядом, в нескольких шагах, какая-то еще присутствует дыра с надписью «Для писем», что-то в этом есть странное, что-то неарифметическое.

Он оглянулся, как бы ища подтверждения правильности своего поступка, верности этой вышеназванной дырки и неожиданно эту поддержку получил.

На пустой и выметенной до сориночки улице Куйбышева, уже позабывшей свое первоначальное название Ильинка, равно как и свое изначальное дело, банковский бизнес, стоял странный тип, в старину бы сказали «босьяк», а нынче иначе такого не назовешь, как только лишь словом английского происхождения «бич» — краснорожий и с бородой, смахивающий на Емельяна Пугачева до незаконного вступления на русский трон, и несколько все же кривобокий, как фельдмаршал Суворов, покоритель Польши и Волги; одна нога в сандалете, другая в обрезанном валенке с галошей, в куртке студенческого стройотряда «Яростная гитара», жутко несвежий и глубоко пьяный.

Он ласково и утвердительно кивал Велосипедову — дескать, правильно, правильно попал, та самая и есть, нужная всему человечеству дыра.

Как же все-таки таким лицам разрешается вблизи Центрального Комитета? — удивился Велосипедов, но тут же, впрочем, увидел, что к Пугачеву-Суворову уже направляется огромный пузатый милиционер, характерная могущественная фигура на чинной улице Куйбышева. Он двигался даже с некоторой улыбкой: насколько все тут вокруг преобладало над нездешним, случайным, настолько и сам он, милицейский полковник с погонами сержанта (чтобы не подумали, что тут полковники вместо сержантов), преобладал над тем, к кому сейчас весьма красноречиво направлялся.

Велосипедов тогда поспешил быстро удалиться, как бы он тут ни при чем, как будто и не ему была «бичом» оказана моральная поддержка, поспешил с легчайшим почтительным поклоном корпуса проскользнуть мимо жандарма, вроде как бы русский революционный эмигрант в Цюрихе, в своей шляпе.

Вечером он позвонил Феньке и, запинаясь от волнения, прочитал ей текст «основного» письма человеку-символу.

— Ты что, Велосипедов, охерел? — захохотала Фенька.

— Что? Что? Что? — переполошился он. — Да ты все сказуемые потерял!

**Булыжник — Оружие Пролетариата**

Заведующий гигантским идеологическим отделом Фрунзенского райкома нашей столицы-героя Альфред Потапович Феляев взирает в данный отдельно взятый момент на регион Карибского моря, перекачивается к региону Канада — Аляска, скользит взглядом к региону Бирма — Филиппины. Чернильные стрелы, исходящие из сердца человечества Столицы Счастья, пересекают водные глади, шероховатости горных пустынь, зеленый войлок джунглей. Вот так приходится мыслить регионами и квадратами, жизнь и не тому научит.

Гигантская меркаторова, собственно говоря, даже и не политическая, но физическая карта висит за письменным столом, то есть непосредственно за плечами зава Феляева. Это, собственно говоря, детище виртуоза идеологической войны, собственное изобретение (в смысле стрел, исходящих из СС) и любимейшая деталь интерьера. Предшественник до таких высот не дотягивал. Феляев лично распорядился повесить карту, лично наблюдал подвешивание и, конечно же, лично наносил на карту стрелы идеологических десантов.

Вся распластанная шкура планеты была местом приложения графических талантов Феляева. Вот в Атлантическом океане полукругом над безднами обозначилось название — ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Под буквами дуга, а от дуги идут стрелы в разные стороны «пылающего континента», а возле каждой стрелы мелкими цифрами дата «акции», то есть засылки очередной культурно-литературно-художественно-научной делегации. Такая же дуга, разумеется, и над Австралией висит, и над Африкой, и над прочим. Феляев обожает эти стрелы и иногда, как говорится, отнехуйделать, мысленно собирает их в пучки и потрясает, уподобляясь марксистскому Зевесу.

Удивительное дело получается, товарищи: вот, живет себе какая-нибудь странишка в отдалении, ничего не подозревая, а Феляев между тем ставит ее в план, зондирует почву, входит с предложением наверх, подготавливает решение, утверждает кандидатуры посланцев, отправляет наконец делегацию, по возвращении проверяет отчеты и... вот наконец блаженный миг — на карте беспечного мира появляется новая феляевская стрела, еще один кусок земной коры нанизан на шампур революции.

Просторный кабинет Альфреда Потаповича, с милым сердцу видом на исторические постройки столицы, строг, деловит и не-без-вкусен, хотя и «вкусен» про него не скажешь. Интерьер, комбинация деревянных панелей, мебели и закраски, разработан известным дизайнером. Когда-то в начале идеологической деятельности Феляева этот дизайнер, можно сказать, не был еще и дизайнером, а находился просто-напросто по другую сторону баррикад. Активный был деятель московских подвалов, звезда всей этой гнили. Некоторые товарищи уже отказывались с ним работать и предлагали передать дело по соседству, то есть вооруженному отряду партии, а вот Феляев разглядел все же в этом вышеназванном здоровое зернышко и не оставлял усилий. Жизнь показала, кто прав. Удалось прорастить народное зернышко и сделать духовного горбуна тем, кем он, собственно говоря, сейчас и является, а именно дизайнером. И очень быстро достиг феляевский подопечный существенных высот — не кому-нибудь из верных стариков-жополизов, а вот именно ему был поручен дизайн новой идеологической твердыни Фрунзенского района. И снова не ошиблись, уловил Олег Чудаков нечто неуловимое, присущее именно нынешнему «зрелому» соцу, под пером его возникла такая геометрия, что впору взвзвить, а не повоешь и даже как бы и не возразишь, потому что вроде отождествляются эти пропорции с самими устоями, с основами, со всеми тремя бородатыми слонами, на которых держится мир. В чем тут секрет, никто не знает, не понимает, не говорит. Проект даже не обсуждался, сразу был выдвинут на Государыню и сразу же и получил эту исторически очень ценную премию. Вот такие вышли пироги: жил вредоносный в мире хиппи, а стал дизайнер и лауреат. Правда, к лауреатской своей медали относится еще как бы с прежним цинизмом, носит ее во внутреннем кармане и извлекает только лишь с целью протыриться куда-нибудь в кабак, но, однако же, слова-не-воробыи вылетели из грешного красиво очерченного рта под голубизной священного Кремлевского купола:

— Высшее счастье выпадает на долю художника, когда его стремления совпадают со стремлениями его правительства.

Вот такие были сказаны золотые слова, и печатью, острейшим оружием Партии, были они отгравированы.

Феляев помещается в кресло за своим столом с чувством глубокого удовлетворения, ибо осознает, что именно помещение его. Феляева, в этот современный седалищный снаряд как раз и завершает идеологический дизайн, ибо тут-то и происходит то, что однажды под хорошей баночкой определил друг-дизайнер «законом марксистского хеппенинга»: без феляевской задницы не завершается дизайн, но и без дизайна этого феляевской жэ развиваться некуда.

Однако помимо эстетики, есть еще и идеология, есть большая политика, а значит, упрочившись в своем кресле, Феляев замыкает энергетическую цепь огромного идеологического аппарата Фрунзенского райкома столицы. Имея над собой такой основательный символ стабильности, аппарат может функционировать, вести за собой массы. Кресло, конечно, крутящееся и с отклоняющейся спинкой, из независимой Финляндии.

В последний раз бросив лукавый взглядик на соблазнительную нашу планету, товарищ Феляев оставляет ее за своей широкой спиной и поворачивается к дверям. И вот тут появляется некоторая двусмысленность в знаменитом интерьере.

Над дверью в кабинет, а значит, прямо перед глазами Альфреда Потаповича, развернулась во всю державную красу в богатейшей раме красная-классика: шедевр-картина «Булыжник — оружие пролетариата». На оной изображен (сообщаем для малограмотных) мускулистый — кто? правильно! — жлоб-пролетарий, выкорчевывающий из мостовой — чего? правильно! — огромнейшую булыгу для атаки — на кого? правильно! — капитализм, самодержавие.

Картина эта была, по мнению Феляева, мягко говоря, спорная. Взгляд у работяги нехороший, попахивает анархией отрывом от Партии. Честно говоря, давно бы уже убрал зав Феляев эту картину со своей стены, однако друг-дизайнер почему-то настаивал на «Булыжнике», утверждая, что без него дизайн кабинета, столь важный для всей эстетики «зрелого социализма», будет неполным, ущербным.

Так или иначе, приходилось Феляеву каждое утро подавлять при взгляде на картину легкое негативное чувство, убеждать себя, что относится парсуна к далекой партийной истории, искать в складках пролетарского лица сходство и родство с нынешними вождями Партии и даже с самим собой и даже на отталкивающую булыгу взирать как бы символически — вот, дескать, с чего начинали, а сейчас располагаем самым совершенным оружием мира во всем мире.

Засим начинался прием посетителей. Секретарша Аделаида... мдааа, явно засидевшийся кадр, увы, комсомолочкой не заменишь, огромный опыт идеологической работы... приносила списки, никотинно-ментольным голосом напоминала, кто за чем к районному идеологическому вождю явился.

Большинство просителей было из мира искусства и в основном хлопотушее по части загранпоездочек. Вот первым у нас сегодня в списке драматург Жестянок, большой разьебай, откровенно говоря, вечно нос кверху, нашелся такой Шекспир. Пяток лет назад, понимаешь, скверные петиции подписывал против решений Партии, а сейчас, понимаешь, в Америку просится. Там, видите ли, какая-то шпана его пьесу поставила и на премьеру зовет, ну, далеко не уедешь, Жестянок.

— А это еще что такое, понимаешь?

Вторым в списке значился некий инженер Велосипедов, с чем его едят, понимаешь?

От Аделаиды сегодня так и несло старой девой, она заскрежетала:

— ...следует обратить особое внимание... по части нашей майской... вы, конечно, в курсе... на последнем бюро...

— Конечно, в курсе, помню прекрасно. — Феляев взглядом показал старой выдре, что с ней в разведку он бы не пошел. Пусть одна, сволочь ехидная, в разведку отправляется, небось уже настучала, что на бюро сидел с похмелья. К счастью, не знает кляча, что как раз с Гермонаевым, который вел в тот день бюро, они и пили накануне в финской бане спортобщества «Динамо». Если бы не было на свете финских бань, власть в Партии захватили бы гнусные бабы.

Любое слово Партии для Аделаиды Евлампиевны — закон, и, предположим, если бы кто-нибудь из секретарей райкома, не говоря уж о товарищах повыше, приказал ей застрелить Феляева, тут же, не задумываясь, шамальнула бы с порога. Пока что с кислой миной пошла звать драматурга Жестянка.

Драматург вошел, как всегда, с задранной носом. Феляев молча смотрел на него из глубины кабинета. Драматург был немолод, но строен, многое в его облике попахивало ненавистным. Очки неприятные, ходит вызывающе, даже плешь как-то расположена вроде это и не плешь, а такой, понимаешь, их дизайн.

Феляев молчит, не встает, руки не протягивает, кресла не предлагает.

— Здравствуйте, Альфред Потапович, — говорит Жестянок и какой-то их подлой интонацией напоминает, что они не первый год знакомы, и в некоторые хоть и отдельные, но имевшие место быть времена искал Феляев со стороны молодого таланта сочувствия и даже однажды

на банкете в братской республике сел рядом и завел разговор на философские темы, намекая, что и им, выпускникам Вэпэша, экзистенциалистическая теория не вчуже.

— Здравствуйте. — Ответ на приветствие был сугубо формален, никаких воспоминаний в нем не содержалось. Стул опять же не был визитеру предложен. Классовому врагу стул предлагать? Ну уж, здесь вам не конференция в Рапалло.

Жестяно усмехнулся, прошагал через кабинет, пиджак расстегнут и левая рука в кармане штанов, никогда не научатся эти типы партийной этике, уселся без приглашения в кресло и посмотрел прямо в глаза заву.

Глаза заву тут непроизвольно по-старому, по-останкинскому сузились. Пугались когда-то фраера в Останкине его взгляда, сразу понимали, с кем имеют дело, известный был в округе взломщик продовольственных киосков, и называли его тогда Алька Киоск.

Жестяно снова улыбнулся, показывая, что и это совсем уже отдаленное прошлое товарища Феляева от него не скрыто, все, дескать, понимаю, но вот, представьте себе, не очень-то боюсь.

Слегка перегнувшись через стол, драматург вынул из письменного прибора карандаш, следующим движением рванул из феляевского календаря страничку. Зав даже и изумиться не успел подобной наглости, как перед ним уже лежала записка с вопросом:

Что вам привезти из Америки?

Жестяно смотрел на Феляева. Феляев на Жестяно. А вдруг Олег прав, думал Жестяно, вдруг клюнет? А не клюнет, хер с ним. Если разорется, встану и уйду, не арестуют же. Хм, думал в это время Феляев, хм, хм, хм. Он перевернул листок календаря и чиркнул на нем ответ:

Приемник фирмы «Браун», модель F106.

Жестяно, прочтя, кивнул — лады.

— А в общем и целом вы должны учесть, товарищ Жестяно... — как бы продолжая беседу, заговорил Феляев, как бы давая соответствующим товарищам понять, что предшествующее молчание было просто-напросто результатом дефекта соответствующей аппаратуры, — должны вы учесть, Илья Филиппович, что ситуация сейчас в мире напряженная, а в США особенно зашевелились реакционные круги.

— Учту, учту, — сказал Жестяно.

— Так что, товарищ Жестяно, я думаю, что внутренние наши дискуссии не будут предметом нездорового ажио...

— Гарантирую, Альфред Потапович, — сказал Жестяно и с совершеннейшей наглостью ему подмигнул.

Пришлось подмигивать в ответ — повязались. Звонком была вызвана Аделаида зловердная.

— Пожалуйста, объясните товарищу, как выйти на Черчуева, а потом меня с ним непосредственно соедините.

Аделаида, будто ежа проглотила, смотрела на Феляева непонимающим ледяным взглядом: Черчуев заведовал гигантским выездным отделом в рамках того же Фрунзенского райкома.

— Поняли, Аделаида Евлампиевна, дошло? нежнейшим тоном спросил Феляев. С этого дня Жестяно становился своим и его можно было не стесняться. — Товарищ Жестяно, возможно, будет направлен на фестиваль в Соединенные Штаты, и Партия, — тут он нажал, — уверена что на этом важном форуме товарищ Жестяно будет твердо отстаивать наши позиции. А пока принесите-ка мне документацию по следующему товарищу.

Он скривил рот вслед уходящей ведьме — врагу, мол. не пожелаешь такой секретарши — и протянул Жестяно руку — пока, до скорого, старик.

Уходя, драматург слегка споткнулся — бросилась в глаза знаменитая картина. Какое сходство, подумал он, Какое, етет твою, удивительное сходство!

А это еще кто такой, удивился драматург, заметив в приемной бледного вьюношу с длинными желтыми патлами, поднимающегося из кресла под партийным взглядом Аделаиды. Экий русский классический тип, Евгений ли Истуканоборец?

Что же теперь с этим товарищем Велосипедовым. мучительно пытался вспомнить Феляев, почему вдруг инженер и ко мне? Когда вызван? Вызван? Ясно, что вызван, не сам же пришел. Вот все-таки есть зацепочка — вызван, а если вызван, значит, какое-то наше дело, значит, что-то нам (Партии) нужно, а не им, не населению.

Аделаида принесла папочку с бумагами и тут же слиняла. Хоть бы намекнула, сволочь, подтолкнула бы мысль к поиску, нет, не любит меня, старая троянская кляча, считает, видите ли, циничным. Невозможно, в самом деле, держать дальше под боком эту пятую колонну культа личности. На дворе у вас нынче уже «зрелый социализм», в отделе нужны люди с более широким кругозором, а таких девчат сейчас немало в комсомольском туристическом бюро «Спутник»...

Он открыл папку и прочел перво-наперво справку, подготовленную районным отделом гэбэ. Увы, ничего не прояснилось. Человечек был без особых примет, даже репрессированных в близкой родне никого, разве что вот дядя в Сыктывкаре пятак отбухал с 1948-го по 1953-й, как раз уложился по статье 58 — 10, то есть за анекдотики. Ну, правда, родился вот товарищ Велосипедов на оккупированной территории, но ведь не этот изъян причина вызова. Хм, вот, правда, одна любопытная деталь — получает письма из Болгарии...

Тут что — то зашевелилось в башке Феляева — близко, близко, ан нет, мимо проскочило!

«...содержание писем не вызывает сомнений...» — читалось в справке. Паршиво, уныло подумал Феляев, очень херовато получается, сейчас человек войдет, а я...

«...в последнее время встречается с группой молодых людей сомнительного внешнего вида, подверженных влиянию Запада...»

Да кто же теперь с такими не встречается, особенно по женской части, сморщился Феляев. В папке оставалось еще несколько листов, но не густо, надежды на прояснение мало.

— Разрешите? — послышался нервный молодой голос.

Под картиной стоял некто тощий в модном синем костюме с торчащими плечами и широкими брюками. Светились серые плоские глаза. Голос подрагивал. Трусит. Вот это неплохо, к робкому человеку сразу как-то располагаешься, потому что видно, когда не нахал.

Феляев некоторое время головы не поднимал, выдерживал посетителя, ну это как полагается. Потом поднял голову и пригласил в кресло.

— Прощу, товарищ... — посмотрел в бумаги, якобы для того, чтобы вспомнить фамилию, ну это тоже в соответствии с традицией партийных приемов, — товарищ Велосипедов.

Молодой человек, издали казавшийся даже юношей, а вблизи вроде бы и не очень уж молодой молодой человек, сел в кресло и положил ладони на колени, соответственно левую на левое, правую на правое. Это тоже понравилось Феляеву — понимает, куда пришел.

— Вы, товарищ Велосипедов, наверное, догадываетесь, по какому поводу мы вас вызвали? — Феляев напрягся, чтобы не пропустить ответ, случалось и такое.

— Должно быть, по поводу моего письма товарищу Брежневу, — сказал Велосипедов, чуть поворачиваясь из своей боковой позиции к могущественному товарищу с большой, плохо оформленной головой.

— Товарищу Брежневу многие пишут, — с некоторой досадой сказал Феляев. — Воображаете, какие горы бумаги ежедневно поступают в ЦК?

— Воображаю, — вдруг улыбнулся Велосипедов без всякой робости, а даже с некоторым отдаленным прищуром. Как ни странно, очень живо это себе представляю.

Феляев испытующе на него посмотрел, подозрительного в общем-то ничего не увидел, но и ясности не появилось ни на грош: для чего вызван человек? В унынии он шевельнул бумагу в папочке, приоткрыл письмо Генсеку... полный «бой-в-крыму — все-в дыму»... просит гражданин садово-огородный участок, а мы-то, идеологи, тут при чем?

— Вы, товарищ Велосипедов, когда пишете в такой адрес, отдаете себе отчет?...

Автор письма вдруг густо покраснел, казалось, даже корни его желтых волос засветились.

— Там у меня со сказуемыми... не вполне...

— Понимаете, кому пишете? — уточнил свой вопрос Феляев.

— Хозяину страны, — выпалил Велосипедов. Феляев улыбнулся прямодушности.

— Хозяин страны — народ, товарищ Велосипедов. Мы с вами. А Леонид Ильич — выразитель воли народа.

— Вот именно! — воскликнул Велосипедов. — Просто превосходно сказано, Альфред Потапович! Выразитель! Вот именно по этому адресу я писал.

Неплохой парень, подумал Феляев, но на кой ляд он здесь? Еще раз помусолил палец, и вдруг — открылось!! Все сразу обозначилось, все прояснилось, все вспомнилось, как будто с того времени и не пил.

Перед ним лежало почти уже подготовленное в печать открытое письмо видных представителей советской общественности, осуждающее вражескую деятельность

Солженицына и Сахарова. Сразу вспомнилось, как ведущий заседание Бюро третий секретарь Гермонаев извлек из своих недр эту голубую папочку с корабликом и перебрал феляеву — вот переслали из Центрального Комитета, поинтересуйся, Потапыч, там думают, что неплохо бы этого инженера пристегнуть к нашим деятелям. У Феляева в тот день, как уже было сказано, имелись в наличии симптомы Кошкиной болезни в прямом переводе с языка Германской Демократической Республики, и он тогда папочку просто передал Аделаиде и распорядился вызвать инженеришку. Ну вот теперь все сошлось, все ясно, можно действовать.

Велосипедов вдруг увидел, как ужасающе хмурый бюрократище меняется на глазах: плечи как-то расправляются, зеркало души как-то даже начинает слегка отражать, через стол доносится запахок винегрета. Опять Велосипедову вспомнилось из любимого классика: «...он к товарищу милел людской лаской...»

— Ну а вообще-то... — нырок в бумаги. — ...Игорь Иванович, каково настроение?

— Вообще-то настроение превосходное, — тут же откликнулся на призыв Велосипедов. — Дела у нас идут хорошо, сердце радуется, особенно на международной арене... — вдруг сбился, показалось — то ли сказуемое проглотил, то ли подлежащее потерял.

— Это хорошо. — Феляев с папочкой в руках обошел вокруг стола, сел в кресло напротив Велосипеда и по коленке его потрепал. — Это очень, очень хорошо... — опять глянул в папочку, — вот и имя-отчество у тебя хорошее, без зацепочки. С этим вопросом у тебя ажур, Игорь Иванович? — зоркий взгляд правым глазом.

— С каким вопросом, Альфред Потапович? — охотно, с готовностью немедленно понять Велосипедов выдвинул голову вперед.

— Не понимаешь? Ну ничего, поймешь позже. — Феляев извлек «письмо деятелей», отвел его несколько в сторону и «замилел людской лаской» и совсем уже на «ты» в сторону визитера и даже с диалектическим запахком Липецкой области поселка Грязи, где, собственно говоря, и осчастливил человечество своим рождением. — Вот, понимаешь, Игорь Иванч, дело есть у Партии к тебе, помоги решить.

. 359

— У Партии ко мне? Велосипедов в благоговейном возбуждении передернул плечами. — Ко мне лично?

— Вот именно, — улыбнулся мудрый старший товарищ. — Вот, прочти, товарищ. Вот, прочти-ка вслух, если хоч.

Велосипедов читал:

### Открытое Письмо

Советская общественность уже на протяжении ряда лет с неодобрением и беспокойством следит за безответственной деятельностью Солженицына и Сахарова, которая столь охотно подхватывается реакционными кругами Запада. В последнее время эти «правдоискатели», как говорится, закусил удила. Видимо, непомерное честолюбие и зоологическая ненависть к социалистической отчизне рабочих и крестьян ослепила их.

Так называемый писатель Солженицын пытается свалить вину за свое осуждение на весь советский народ, на дорогое каждому советскому человеку учение марксизма-ленинизма. А между тем не мешало бы ему рассказать людям о своем власовском прошлом.

Физик Сахаров, отошедший от научной деятельности, вознамерился «спасти» человечество от всех бед любыми средствами, главным образом грубой клеветой на наш народ, нашу Партию, наши идеалы.

Мы, представители советской общественности, гневно осуждаем грязную антипатриотическую деятельность двух отщепенцев и заявляем: руки прочь от весны человечества, нашей отчизны СССР!

Прочтя все это с правильным соблюдением всех интонационных пауз и подъемов, Велосипедов опустил бумагу.

— Великолепно, — сказал он. — Просто великолепно и волнующе!

— А теперь обрати внимание на подписи, — предложил Феляев.

Велосипедов обратил и еще больше восхитился. Было от чего, среди подписавшихся — выдающиеся умы государства: узбекский поэт, слагатель эпоса Кайтманов; белорусский философ Теленкин; московские романисты Бочкин и Чайкин; выдающиеся ноги государства

балерина Иммортельченко и бегун Гонцов; выдающиеся руки государства скрипач Блюхер и токарь-депутат Пшонцо; выдающееся лицо государства киноактриса Жанна Бурдюк; выдающаяся русская женщина ткачиха Гурьекашина...

— Ну как? — не без гордости спросил Феляев.

— Впечатляет, — тихо сказал Велосипедов.

— Есть желание присоединиться?

— Собственно говоря... — Велосипедов положил ладонь на левую сторону груди. — Собственно говоря, уже мысленно с ними.

— Ну а физически? — спросил Феляев, и легкая тучка пробежала по челу — неужто уж и инженеришки колеблются ведь всю эту вышеупомянутую сволочь пришлось уговаривать, ломались. — Как насчет перышка?

Он протянул Велосипедову авторучку «Монблан» с золотым пером, недавно подаренную как раз одним из «авторов» письма романистом Чайкиным после возвращения из Бельгии.

— То есть чтобы я среди таких имен? — опешил Велосипедов.

— Вот именно, — покивал Феляев и процитировал с почти абсолютной точностью: «...И академик, и герой, и мореплаватель, и пахарь...» В этом, понимаешь, и состоит монолитное наше единство.

Велосипедов подписал письмо и полюбовался «Монбланом». Феляев даже умилился такой готовности. Вот все-таки люди у нас какие! Какой, понимаешь, сознательный народ! В Свердловске, в Казани который год масла нет, а никто не ворчит, не подзуживает. Нет, господа, не на тех делаете ставку, это вам не венгры, не чехи, не поляки и так далее.

— Спасибо тебе от лица Партии, Игорь Иванович, — он протянул на прощание руку. — Следи за газетами, скоро прославишься.

— А как же, Альфред Потапович, по части моего? — спросил Велосипедов, кивая в сторону папки, откуда было извлечено письмо деятелей и где он успел заметить свое собственное послание «без сказуемых». — Вот по поводу основного? — он слегка покраснел. — Весьма интересно, принято ли было Леонидом Ильичем какое-либо? — он еще более покраснел, чувствуя, как что-то катастрофически утекает из его сбивчивой речи, но не понимая, что именно, со сказуемыми, кажется, все было в порядке. — Был бы очень рад услышать ваше.

— А что у вас там? — Феляев скосбочил рот в любимую позицию. — Садовый участок? Не проблема! — Отыскав слово «участок», он размашисто отчеркнул его красным карандашом. Затем, заметив красноречивое движение визитера, дескать, не только участок, заглянул в бумагу еще раз. — Ну еще чего-то? Машина? Не проблема! — вторая красная полоса в «документе» и еще одно красноречивое движение свежее испеченного представителя общестственности. — Еще чего-то позабыли? Вот как потребности у наших людей постоянно растут! Закон социализма, понимаешь! В Болгарию захотел, Игорь Иванович? Поедешь, поедешь! — и на глазах ошеломленного Велосипедова махнул еще одну красную полоску. — Так вот решаем вопросы. Держись за Партию, Игорь Иванович, все преодолеем!

Велосипедов встал. Печать изумленного мертвого счастья залепила ему все мышцы лица. При прощальном пожатии руки товарища Феляева возникла перед ним ослепительная картина воображения: садово-огородный на крутом берегу гордого канала «Москва», он подъезжает к нему в болгарской дубленке, а поверх дубленки четырехцилиндровые с итальянскими поршнями «Жигули», вишни цветут. Так с этим лицом и пошел к выходу из кабинета, на полпути возникла самая щемящая идея благодарности — вот ленинский стиль работы, врут злые языки, что в Стране Советов процветает бюрократия, бумажной волокитой — бой!

И вдруг уже перед самым выходом Велосипедов увидел пролетарскую картину и застыл в полном изумлении. Какое сходство, какое умопомрачительное сходство реалистического искусства, дорогие товарищи! В простоте душевной он даже оглянулся на благодетеля. Тот покивал ему с подобием патрональной улыбки, но и от этого сходство не уменьшилось.

Волна московских санкюлотов весело вливалась в здание административно-партийного центра. Заведующий идеологическим отделом товарищ Феляев был взят живым. Панорама по стенам его кабинета. Укрупнение — «Булыжник — оружие пролетариата»...

Вдруг распахнулась дверь, и в кабинет влетел средних лет молодой человек, влащущий на сгибе руки заграничный плащ и заграничный шарф, а через плечо полосу коньячного запаха, и — к могущественному лицу с распростертыми и с растленным московским — голуба!

Велосипедов вышел и поклонился Аделаиде, та улыбнулась ему в ответ опять же доброй партийной улыбкой, словно он был ее юным пионером, делающим первые шаги в авиамоделировании.

В коридоре учреждения посетило, увы, нашего героя не вполне здесь уместное чувство дискомфорта — а деньги-то на все эти разрешенные удовольствия где взять? Садово-огородный — 800 рэ, «Жигули» — 6000 на бочку, да на Болгарию нужно не менее тыщи, а зарплата у нас, как известно, 150, да еще вычеты, что же получается, ведь не у Партии же денег просить, для Партии это все — такая низкая материя. А зачем же писал, просил этих благ, если знал прекрасно, что кровных велосипедовских-то едва-едва на жратву натягивает? Вот так позор будет, если не сможешь выкупить обещанные блага, а если до Леонида Ильича это дойдет, вот будет полный вперед по позору, полнейшее неудобство... вообще... отбой...

Он вышел из райкома.

Взлетели две птицы. По ветру волоклась огромная смятая бумага. Резко отразилось солнце на двигающейся форточке восьмого этажа. На душе потеплело: главное — большое спасибо!

Между тем в оставленном только что кабинете разыгрывалась сцена едва ли школьной конспирации. Могущественный товарищ Феляев и его любимый лауреат-дизайнер задумывали смыться из-под строгого ока Аделаиды Евлампиевны, ибо намечалась «сногшибательная кайфуха». Казалось бы, остерегись, Альфреша, большая ответственность на плечах, однако Феляев под влиянием своего детища основательно забогемился, да и вообще по грязевской своей посконной натуре всегда был жаден до телесных безобразий.

Дизайнер жадно, с некоторыми брызгами изо рта повествовал: познакомился вчера с девчонками из бюро «Спутник», легкомысленные, живые, хулиганочки, вчера в самолете летели из Будапешта, вот тебе, кстати, сувенир из гуляш-социализма, часы «Сейко», и давай-ка друг-голуба в темпе оформляться в Австралию, как зачем, на фестиваль прогрессивных же, иденать, сил мирро во всем мирро, а пока давай сваливать, пусть тут Аделаида сама идеологический дрын чешет, а на кой тебе триста гавриков в отделе, да целый еще полк актива, ты себя Наполеоном должен ощущать, — так частил любимый циничный дизайнер, только что оформивший советско-отечественный павильон на выставке пламенных моторов в братской, спасенной нашими танкистами от студенческого разбоя солнечной Венгрии и уже собирающийся — вот она одержимость, вот она убежденность в правоте нашей эстетики! — в эту отдаленную до поры Австралию — ну как не ценить, не уважать такого человека!

Хлебнув второпях из плоской фляги согретого дизайнерскими ягодицами коньяку, Феляев надел замутненные очки (подарок токаря Пшонцо) и вызвал Аделаиду, которая, сука, конечно, уже догадалась, что к чему.

— ЧП в Союзе архитекторов, — сказал Феляев. — Срочно выезжаем. Необходима хирургическая операция, обнаружилось связи с Западом, сомнительный обмен идеями на последнем коллоквиуме в Сухуми. Все приемы переписать на завтра или лучше на послезавтра.

Проклятая догматичка молча кивнула — дескать, только потайной дисциплине подчиняюсь. Все человеческое ей чуждо, как «Банде четырех».

Дизайнер препохабнейше вел себя в «Чайке», хлебал свой коньяк, проливал, совал шоферу, слюнявился, рассказывая о девке, которая из всей вчерашней компании показалась ему самой надежной, — «ноги от ушей растут, штучки торчат, и глазки смышленные», вот адресочек, Потапыч, а если без подружки окажется, так и трио можно разыграть, а, Потапыч?

В общем, полный пошел какой-то неуправляемый анархизм хорошо еще, что шофер — свой человек, фронтовик-разведчик, матрос-железняк-партизан, понимает, как нелегко порой работать с художественной интеллигенцией... Экое v тебя, Олег, понимаешь, кружение ума. а ведь в работе-то, в творчестве настоящий, понимаешь, глубокий советский художник, понимаешь, на уровне Товстоногова...

Как раз стояли у красного светофора, и шофер уважительно кивнул, дал понять хозяину, что волноваться нечего, он, майор госбезопасности, все диалектические сложности нашего времени прекрасно понимает. Золотой человек, отпущу его сегодня калымить на весь день.

Заехали на Грановского, взяли по пайковым талонам языковой колбасы кило, шейки полкило, дунайской сельди в районе кило, тройку банок крабьего мяса, по паре бутылок британского джина и итальянского чинзано, литр водки винтовой, в общем, на любой вкус состав, прямо скажем, впечатляющий. Поехали дальше.

Феляев все-таки решил завязать с другом художественный разговор, чтобы все-таки матрос-железняк как-то ошибочно все-таки не подумал, что на блядку едем, чтобы, случись допрос какой-нибудь, мог ответить, о чем хозяин с лауреатом говорили.

— Ну а как там в Венгрии вообще-то с дизайном? — осторожный был, хотя и вполне профессиональный вопрос.

— Жуево! — захохотал Олег. — Очень жуево! С дизайном, Потапыч, там очень и очень жуево!

Шофер улыбнулся в зеркальце заднего вида — все человеческие слабости понимаем.

— Да, до наших мастеров им еще далеко, понимаешь, — задумчиво глядя на проплывающие в окне «Чайки» лозунги, проговорил Феляев. — Скромничать нечего, большой мы сделали прогресс. Глянешь вокруг, каждый кубический сантиметр — поет!

|                             |        |          |         |           |
|-----------------------------|--------|----------|---------|-----------|
| Один                        | солдат | на       | свете   | жил.      |
| Красивый                    |        | и        |         | отважный, |
| Но                          | он     | игрушкой | детской | был,      |
| Увы, солдат — бумажный... - |        |          |         |           |

проорал вдруг дизайнер с какой-то неадекватной моменту дикостью.

Феляев заговорил торопливо, чтобы отвлечь друга от этой ничего хорошего, кроме антисоветчины, не обещающей дикости:

— А вот знаешь, Олег, много думал я над твоим дизайном моего кабинета и понял, что ты был прав, а не я. Вот видишь, друг, умеет Партия вести диалог с художником, врут про нас, Признаю свою ошибку насчет картины, когда говорил, что не вписывается. Вписывается, друг! Каждый посетитель застревает перед ней и на меня оглядывается. Значит, ощутимо наследие первых борцов, так, Олег?

Дизайнер вдруг глянул на него сбоку и как-то не по-хорошему, как-то, понимаешь, по-старому, как будто и водки с ним не пили и не щекотали друг друга в финской бане, как-то по-вражески посмотрел, с насмешкой и презрением. Впрочем, тут же за плечи обнял, захохотал по-свойски:

— Я же тебе говорил, Потапыч-голуба, ты без этой картины лишь эскиз, а она без тебя — говно на палочке! Хеппенинг продолжается!

Под сильными порывами ветра на площади Гагарина летала бывшая афиша, о чем вещавшая — загадка. Пяток скульптур на близкой крыше — пилот, доярка, свиноматка... На Западе, в преддверье слизи, скопление туч крутым бараном, дорога шла в социализм, к неназванным, но братским странам. Эх, просится здесь нержавейка, монумент ракето-человека. Клич надо бросить среди скульпторов, пусть отразят неотразимые черты НТР советской действительности в лучших традициях калужского мечтателя. Какое, однако, все вокруг родное — ОБУВЬ, ХРУСТАЛЬ, КОММУНИЗМ...

...Как только вышли из лифта в том доме, адрес которого заполучил дизайнер, летя из Венгрии, так Феляев и заколебал себя, просыпалась порой в человеке, смешно сказать, прежняя липецкая стеснительность, вспомнились мамкины щипки — честным надо быть, а не богатым.

Из— за дверей квартиры доносился молодежный рев и резкие режущие звуки авангардистской музыки. Лопнула феляевская мечтишка о тихой хавирке с двумя сознательными девчатами. Дверь распахнулась -все было заполнено дымом и вибрирующей массой молодежи. Длинноволосый и грязный советский хиппи тыкал пальцем в лидера идеологии:

— Вот так булыга прикатилась! Ребята, аврал, булыжник пришел, оружие пролетариата!

Запрыгали три девки в хламидах с нашитыми лоскутами:

— Бульжник! Бульжник! Революция продолжается!

## Честное Слово В Кавычках

В один прекрасный понедельник в газете «Честное Слово» появилось открытое письмо представителей советской общественности.

Я как раз шел с работы, стояла закатная пора, очарование души. Шло — с успехом — восьмое десятилетие нашего века. Милостивый государь, вы еще молоды и у вас есть шанс увидеть завершение столетия, ну а за пределами 2000 года и в самом деле трудно представить себе продолжение столь бардачной ситуации, именуемой... замнем для ясности. Так однажды высказался один тут старик по соседству, который иной раз приглашает меня третьим на бутылку «Солнцедара» в проходном дворе за магазином «Комсомолец». Сказано неплохо, однако полной ясности в цитате нет, значит, не Ленин.

Прошла высокая представительная брюнетка, яркий представитель армянского народа, а еще говорят, что они все некрасивые и квадратные, вот расистские бредни.

Обмен взглядами, и проходит нечто сродни впрыскиванию горючей смеси в карбюратор двигателя внутреннего сгорания, меня охватывает вдохновение, и это несмотря на восьмичасовой рабочий день.

Стихийный митинг восставшей молодежи у северного выхода из метро «Аэропорт», порхают листовки, толпа жадно слушает золотоволосого вожака, что бросает зажигательные призывы с крыши остановленного троллейбуса.

— Требуем! Уберите Ленина с денег!

Ленин — святыня каждого трудящегося, а как у нас на практике получается — предметы алчности украшены его портретом. Прав наш поэт в своем гневе — долой!

Лживый мир псевдосоциализма возникает, несмотря на все старания нашей Партии. В центре его вихрь — афера взяточничества, круговая порука, насилие над молодежью Партия, как Ярославна, кычет со Спасской башни — Ленин вернись!

У Спартак Гизатуллина, конечно, своя философия, он говорит — надо воровать. Как в Татарии народ выражается: «одна вход со двора, будет большой чумара». Долг каждого советского человека — воровать побольше. Надо воровать, пока не разворуем всю эту Организацию, а вот когда она рухнет, все примем христианство и станем честными.

Не могу сказать, что полностью с этим согласен. Глубоко убежден, что во всем виноват бумажный мир бюрократии, а значит, косвенно вся бумажная мануфактура. Вот мы учили в институте на политэкономии, что в Англии были такие люди — муддиты, они разрушали станки, и не без уважительной причины, жаль, что не доломали. Я за революцию 465 градусов по Фаренгейту, и позвольте с вами не согласиться, дорогой товарищ Рэйбрэдбери: уничтожение бумаги вызовет не тоталитаризм, а, скорее, наоборот — настоящий коммунизм, мечту Фридриха Энгельса. Ведь в священном огне антибумажной революции сгорят все наши омерзительные справки, заявления, характеристики, приказы и выписки из приказов, резолюции, протоколы, квитанции, ордера, графики, диаграммы, доносы... Мне скажут, что пострадают художественные ценности, в частности литература. Что ж, как ни печально, но ею придется пожертвовать. Будем больше петь, больше играть на музыкальных инструментах.

Возникнет новая система коммуникаций. Предположим, глиняные таблички, металлические цилиндрики, деревянные палочки, пластмассовые карточки. Громоздко? Вот именно, громоздко, в этом и смысл, дорогие товарищи! Громоздкость, неуклюжесть отобьет у нашего общества страсть к делопроизводству, то есть к созданию фальшивого мира. Возникнут новые отношения, на несколько порядков выше, проще. Дела будут решаться в один прием, вот как мы это сделали с товарищем Феляевым, в штабе Партии.

И как раз в этот именно момент, в понедельник, ровно в половине седьмого, мой взгляд, следивший (непроизвольно) а перемещениями красивой армянки, упал на стенд с газетой «Честное Слово».

Вещи утратили свой первоначальный смысл. Глядя на газету, никто ведь не думает, что это просто здоровенный клочок бумаги, каждый соображает: вот передо мной коллективный организатор, трибуна борьбы с империалистической пропагандой. А искорени бумагу, и сразу

уменьшится борьба с империалистической клеветой, потому что и сама клевета ведь поубавится, а?

Армянка стояла в очереди за клюквой в сахаре, потом перешла в другую очередь, где давали длинные здоровенные болгарские огурцы, вполне пригодные для разгона уличных демонстраций. В газете «Честное Слово» на первой полосе фигурировало «Открытое письмо представителей советской общественности». У меня дыхание перехватило, когда среди славных советских имен увидел я и свое, возникшее на Руси за двести лет до изобретения велосипеда. В этой газете, главном органе мира и социализма, черным по белому... Армянка вышла из очереди и приближалась. Сколь гордая поступь!

Ефросинья относится ко мне несерьезно, даже с насмешкой. Дурацкий верзила Стюрин, который недавно заявил, что вычислил свои «корни» от королевской фамилии Стюарт, почему-то считается человеком их круга, в то время как я с моей реальной ге-не-а-логией (правильно!), с моим истинно латинским именем, обозначающим определенную быстроноготь, я — как бы лицо второго сорта, простой инженеришко, годный лишь... А вот любопытно, будет ли ревновать девка, если признаюсь, что факовался с председателем Армянского Комитета Советских Женщин?

Она подошла и стала читать «Открытое письмо». На верхней губе красовались отчетливые усики, говорящие, конечно, о страстности, необузданности. Глаз был жарок, как Севилья. Замшевый жакет обтягивал статный стан.

— Вам нравится фамилия Велосипедов? — я показал пальцем.

— А что, вы с ним знакомы? — басовито спросила она.

— Порой мне кажется, что да, — скромно признался я и показал ей пропуск в наше учреждение, на котором под фото так и значилось — И.И. Велосипедов, инженер.

— Я остановилась в гостинице «Советская», — сказала она. — Проездом из Лос-Анджелеса в Ереван.

— Зачем нам эти гостиничные проблемы, мадам, — сказал я, — зачем преодолевать мещанские предрассудки, рисковать самым дорогим, что у человека есть, то есть свободой? В двух шагах отсюда, дорогая Ханук, я располагаю однокомнатной квартирой.

И вот передо мной два сахарных Арарата. Далее следует размыкание теснин, большая поршневая работа. Ну вот, а теперь можно и поговорить, дорогая Ханук, ваша клюква, мой портвейн «Агдам»...

Вы только подумайте, Ханук, какая в мире живет еще наглость — некий Стюрин Валюша, без году неделя из Пскопской глубинки, вычисляет свою генеалогию — вижу, вы уже улыбаетесь, дорогая Ханук, — от королевского шотландского дома Стюартов. Вот его логика: проследите, говорит, господа, войну Алой и Белой розы (это из учебника истории почерпнул для 7-го класса), и вы найдете все ветви этого дома за исключением одной, которая просто пропала. А между тем эта последняя, пропавшая ветвь, скрываясь от преследований, укрылась в Центральной Европе и вынырнула лишь в конце XVII века в России под именем наемного мушкетерского капитана Амбруаза Стюрен. И вот от этого мифического капитана якобы и пошла в Боровичах фамилия Стюриных. И вот таким забивальщиком баков верят еще до сих пор отдельные московские девушки. И никому в голову не придет спросить — а может быть, ваша фамилия-то пошла не от Стюартов, а от «тюри»? Простите, благородная Ханук, тюря — это еда пскопского плебса, гадкая жижа, вода с крошечным хлебом. А вот вам и наглость в квадрате — Стюрин Валюша, кроме короля, нашел в себе и древние республиканские традиции. Псков, видите ли, старейшая демократическая институция Европы! Какая нескромность!

Вы выдаете себя за художника, хотя и краски смешивать не умеете, за джазиста, хотя не можете взять и пары нот, хорошо, но оставьте уж в покое Европу, милостивый государь!

Вот перед вами, дорогая Ханук, человек с настоящими историческими корнями. Происхожу из русского духовенства, и в отечественную индустрию внесен нами, Велосипедовыми, немалый вклад, и в общественной жизни страны, и сами сегодня видели, принимаю посильное участие вместе с большими умами, хорошими голосами, красивыми и сильными ногами, и все-таки я не кичусь, не выпендриваюсь перед девушками. Вот этот скромный человек перед вами, дорогая Ханук, вернее, рядом с вами, вплотную, на вас, любезная Ханук, под вами, сбоку, еще раз над вами, на вас -под вами — у вас, среди вас, мои сахарные Арараты!

Со свежей газетой «Честное Слово» я бежал по подземным переходам, по пересадочным коридорам, теснился в вагонах, смотрел на хмурые лица пассажиров, разворачивающих газету, и думал: жаль, не знают попутчики, что один из героев сегодняшнего дня едет вместе с ними, в одном вагоне, знали бы, засияли б!

Выскакиваю возле Фенькиного дома, бегу, бегу, воображаю, какова будет встреча, вот так-так, «месье Велосипедов» попал на первую страницу коллективного организатора! А вот любопытно, Фенечка, что бы ты сказала, если бы я тебе сказал «что бы ты сказала, если бы я тебе сказал?» -...ну, в общем, насчет председателя Армянского Комитета Советских Женщин...

Дверь открывается, и я спрашиваю ее в лицо — Феня, ты дома? Она, не ответив ни слова, поворачивается спиной и удаляется в глубины квартиры. За что такой холод? Быть не может, что уже узнала про председателя.

Феня, смотри-ка, экая хохма — в «Честном Слове» моя Фамилия! Да Ефросинья же, что случилось?

Вхожу в ливинговую (так они большую комнату называют), и передо мной незабываемая картина: Валюша Стюрин, потомок королей, и Ванюша Шишленко, тоже, как видно, не последний аристократ, сидят с газетами, углубленно просвещаются, даже голов не поднимают, непривычно тихо звучит джазовая скрипка. Она, моя любимая, бух-бух, садится, ноги в сапогах выше колен закидывает на стол, разворачивает свой экземпляр, у всех троих «Честное Слово» за сегодняшнее число.

Признаюсь, в этот момент я очень сильно сам себя заколебал.

— Что это, чувачки, спрашиваю, — изба-читальня образовалась? Красный чум?

Всегда, когда вижу эту компанию, стараюсь под их манеру подделаться, хотя и презираю себя за это: подумать только — кто я и кто они? Несопоставимые величины. Фактически руководитель экспериментальной лаборатории и пара художественных бездельников. Почему же не они под меня, а я под них?

— Але, — говорю, — Фенька, не виделась сто лет, месье Велосипедов отведал бы котлет.

Молчание. Выключается система. Зловещая тишина без джазовой скрипки.

— Как это вы попали в компанию таких подонков? — вдруг вяло спрашивает Ванюша Шишленко.

Обжигает виски леденящий смысл вопроса.

— То есть? Как это? Подонков? — с трудом выталкиваю, даже горло прихватило, изумленные контрвопросы. — Да вы соображаете, Ванюша, что говорите? Лучшие люди страны, такие таланты!

Валюша Стюрин высокомерно улыбается, в самом деле что-то королевское:

— Странная неразборчивость, блябуду, экая всеядность. Не разобраться в подонках, подлинных советских ничтожествах? Стрэндж, вери стрэндж...

Фенька молчит, и я перехожу в наступление:

— Да вы, Валюша, соображаете, что говорите? Вы наверное, не следите за культурной жизнью страны. Ну, читали ли вы хотя бы роман Бочкина «Два берега одной реки»? Ведь это же такая глубокая философия! А Кайтманов, а Теленкин? При Сталине такое было невозможно! А скрипичные пассажи Блюхера? Ведь они завораживают! А батманы Маши Иммортельченко, ведь упоение же, вечное же, истинное искусство! А мощь Гонцова! А психологизм Жанны Бурдюк! А «окопная правда» Чайкина! А как насчет ораторского искусства токаря Пшонцо, ткачихи Гурьекашиной, а возьмите...

— Сахарова, Солженицына, — помогла мне тут Фенька.

— Вот именно! — радостно подхватил я. — Такие люди! Такие имена! Звезды! Гиганты! Хранители тайны и веры! Вы радоваться должны за меня, если вы мне друзья, а не упражняться, простите, в плоских островах.

Фенька захохотала:

— Я же вам говорила, чуваки, что Велосипедов — битый мудака! Наш простой советский битмудила!

Она забарабанила каблуками по столу и захохотала еще пуще. Признаюсь, не очень-то я отдавал себе отчет в причинах этого оскорбительного смеха и легкомысленных реплик, и все-таки я почувствовал какое-то облегчение: мне показалось, что Фенька уже не злится и что — еще минуту — и снова возникнет весь этот привычный цирк, скачки, куплеты, «месье Велосипедов», кружение и похабщина. Уже и «дивный огонь» начинал скапливаться там, где обычно.

Однако тут Валюша Стюрин резко высказался:

— Вы, Велосипедов, отдали свое неплохое имя этим скотам. Ваша фамилия возникла на Руси за двести лет до изобретения велосипеда, а сейчас вы с этим безродным сбродом, скопищем продажного народца, вы, человек нашего круга, блябуду, не ожидал.

— Может, вы и в самом деле, Велосипедов, возмущены поведением Сахарова и Солженицына? — спросил Ванюша Шишленко. — Может, душа кипит?

— Да с какой же это стати? — от удивления я просто развел руками. — Я чего-то недопонимаю, чуваки. Меня просто в райком же вызвали руководящие товарищи, ну как лотерейный билет выпал — сечете? — ну вот и пригласили участвовать — общественная жизнь, как же иначе. У нас и в институте всегда так было — на собрание всем колхозом и давай голосовать — за свободу Вьетнаму, против чешской контрреволюции. Вот вы не доучились, чуваки, поэтому и с общественной жизнью плохо знакомы. Я Брежневу написал про зажим молодых специалистов, вот меня и вызвали. Ты же, Фенька, сама мне сказала, пиши тому, у кого власть, вот меня и пригласили...

— И садовый участок пообещали? — спросил Ванюша. — И жигулятины?

— Пообещали, конечно, что им стоит, там большие люди сидят, не нам чета, — сказал я. — Очень просто решаются такие вопросы.

— Говно, — сказал Ванюша.

— Кто? — опешил я

— Вы тоже, Велосипедов.

— А можно просто Игорь?

— Можно, Игорь. Вы теперь влились в общее советское говно, а значит, и сами стали — кем? Правильно!

Я взглянул на Феньку — с каким презрением и даже отвращением смотрела она на меня.

— Неправда! Неправильно!

Меня просто ужас охватил, какая-то приближалась катастрофа.

Стюрин встал:

— Простите, господа, но далее, блябуду, не считаю себя в состоянии дышать одним воздухом с предателем демократического обновления России.

Шишленко тоже встал.

— Ребята! — воззвал я к ним. — Да тут какая-то мизандерстуха получается! Да я же горячий сторонник обновления! Никого никогда не закладывал! Ну, подумаешь — подпись! Большая цена у этой бумажонки!

Фенька вскочила, бухнув своими сапогами.

— Ребята, останьтесь!

Останьтесь, останьтесь! — горячо поддержал я ее. — Сейчас за бутылкой слетаю, разберемся!

— А ты, Велосипедов, линияй! — вдруг завизжала она мне прямо в лицо. — Да ты понимаешь, на кого ты руку поднял, жопа?? На Шугера, на Солжа! Да если бы таких чуваков в России не было, нечего здесь больше было бы и делать, сваливать тогда, бежать всем скопом, пусть стреляют! Недавно у Людки Форс видела одно бульжное рыло из партийных органов, меня чуть не вырвало, чуваки! Да неужели вся страна такими булыгами покроеется и ни одного Шугера, ни одного Солжа?! Нельзя с булыгами жить, нельзя больше с ними жить, как же вы не понимаете, что нельзя с ними больше жить, почему же никто этого не понимает, жуй, говны, не могу, тошнит!

Ну и дела, настоящая истерика на почве демобновления, и это у простой студентки Полиграфического института.

Когда я опомнился, вокруг светились высокие оранжевые фонари, пахло асфальтом, бензином, с Москвы-реки летело что-то детское, когда кто-то обидел почти смертельно, почти, почти...

Шипели шины, с шорохом шараша по Ленинскому вдаль, в аэропорт. Гудел Нескучный сад над скучною столицей. Вертеп ошеломляющий грачей под полную луну перемещался, и магазин «Диета» освещал своей унылой вывеской округу, скопленье пропагандных достижений, плакат за мир, за дело коммунизма, газетный стенд...

Вот оно, проклятое «Честное Слово», коллективный организатор с четырьмя орденами Ленина и двумя Дружбы Народов! Больше внимания рабочему контролю — передовица-кобылица, а вот и репортаж входит в раж — на предпраздничной вахте, снимки работяг на этой самой вахте, дыбятся, небось уже бутылкой запаслись, нормально функционируют, не боясь обвинений в предательстве демократического обновления России.

Я стоял, качаясь, перед газетным стендом, заполненный ощущением глухого и тяжелого кира, хотя не взял сегодня ни капли. Вот именно, вообразите — отчаяние, тоска, сосущая изжога, — а ведь не взято ни капли!

Что происходит ведь можно так представить дело что я продал свою подпись за жизненные блага за садово-огородный за жигули за Болгарскую Народную Республику с ее дубленками но разве было у меня в уме что-либо даже отдаленно похожее на сделку с этим уважаемым товарищем в райкоме как его фамилия да разве же могло простому советскому человеку такое в голову прийти что его в таком учреждении покупают ребята господа чуваки товарищи как я мог связать два подобных вопроса партия просит помощи вот она как же можно уклониться не этому нас учили Белинский и Добролюбов такова общественная жизнь и я хоть и рядовой технарь а все ж таки правила понимаю а ведь та моя собственная просьба к партии шла можно сказать параллельно без всякой связи ведь ты же мне сама посоветовала в конце концов я одинокий молодой человек никому не нужен моя мать до сих пор поет Сильву в провинциальном театре оперетты а у отца в огромном отдалении за Полярным кругом своя преогромнейшая семья я может быть из всей нашей компании самый несовершеннолетний несмотря на мои тридцать и если я чего недопонял так ведь можно же ж и поправить объяснить зачем же гнать так грубо так ужасно с такими истериками да разве же я Сахарову и Солженицыну плохого желаю я им только хорошего желаю крепкого здоровья отличной семейной жизни всего.

Вдруг меня осенило. Вдруг меня со страшной силой так прямо пронзило, что я даже рот раскрыл. Да ведь эти Сахаров-академик и Солженицын-лауреат, ведь они для меня даже людьми-то не были, ведь это просто какие-то были бумажные фигуры, такие вот просто в жизни были понятия, против которых всегда была направлена газетная критика окружающей среды.

Вот ведь не раз и положительное о них слышал, вот, например, сослуживец Спартак Гизатуллин не раз говорил что-то вроде «Солженицын прав, Сахаров не допустит» и так далее, а ведь ни разу эти слова у меня как-то с реальными образами пожилых этих мужчин не связались. Для меня эти живые люди были вроде как бы названиями станций метро, до сих пор, например, не вникал, почему называется «Сокол». Или, еще пример, учили в институте «производительные силы и производственные отношения», от зубов отскакивало и ни в зуб толкнуть, понятия не имею, с чем его едят. Значит, я туп, значит, обыватель, вот из-за чего меня моя девка прогнала, я просто жертва бумажной узурпации, бессмысленный муравей.

И с диким рыком бросился я на газету «Честное Слово», стал рвать ее, желая наказать за унижение. Увы, и с этим у меня получилось как-то нелепо, неуклюже: хотел стащить ее со стенда одним махом, а она, зараза, приклеена оказалась так туго, что пришлось скрести ногтями и не без боли и с тихим отчаянным воем, пока два милиционера-трассовика (на правительственной трассе произошел инцидент) не огрели меня специально антиповстанческой дубинкой и не запихали меня головой вниз в люльку патрульного мотоцикла. На третий день моего пребывания среди коротко подстриженных пришел за мной как бы представитель общественности, дорогой мой Спартак Гизатуллин.

Сели в кабинете майора Орландо заполнять протокол о передаче на поруки с обязательным разбором общественностью предприятия, шесть страниц под копирку в трех экземплярах.

Майор Орландо на прощание сказал:

— Я вижу, вы ребята хорошие. Вот мой телефон. Айда как-нибудь на футбол ходим.

На улице, под лучами весеннего солнца, не приносящего ни тепла, ни радости (в Москве иной раз даже весеннее юнице кажется нескончаемым наказанием), Спартак остановился,

порвал протокол о передаче на поруки общественности вдоль и поперек и швырнул этот протокол в мусорную урну.

— Не волнуйся, — хмуро сказал. — Я этому майору четвертную дал за любезность.

— Спартак, — прошептал я, — дорогой ты мой человек, вот уже доподлинно друзья познаются, когда бывают у человека большие неприятности.

— Кончай, — физиономия Спартака перекосилась. — Плунуть бы надо на тебя. Плунуть и растереть. Жопы ты, Игорь, и настоящая шестерка. Твоим товарищам стыдно за тебя. Обгадить таких людей, которые за простой народ стоят, не жалея огромных окладов. Сейчас весь советский народ торчит против проклятой Организации. Вон космонавт Быковский уже поднялся за права человека.

— А ты не преувеличиваешь, Спартак? — спросил я. — Если космонавт Быковский, так ведь это же очень серьезно, очень и очень...

Гизатуллин Спартак сплюнул в сторону:

— А ты бы, Игорь, вместо того, чтобы по райкомам жуевничать, включил бы как порядочный человек приемник, послушал бы «рупора». Что же ты думаешь, космонавты не видят, какой вокруг бардак, кто нашу прибавочную стоимость хавают? Вчера как раз передавали — арестован Владимир Быковский.

Может, пойдем выпьем, Спартак? — осторожно предложил я.

Он смотрел в сторону.

— Откровенно говоря, Игорек, нет у меня никакого аппетита пить с тобой.

## Контакты Средней Интенсивности

У нас тут интересуются одним человечком, сказал гэбист кадровику экспериментальной моторной лаборатории. Давайте-ка сверим наши данные. Он вынул из своего «дипломата» серую тощую папочку. Вот пожалуйста. Велосипедов Игорь Иванович, 1943 года рождения...

Кадровик открыл свой железный чулан, извлек из соответствующего закутка личное дело названной персоны. Уроженец города Краснодара...

Значит, проживал на оккупированной территории, оживленно поинтересовался гэбист. Вот важное, довольно существенное звено, вот оно!

Собственно говоря, не проживал, а просто-напросто родился на оккупированной территории, подсказал чрезвычайно опытный заслуженный кадровик. С этими «проживавшими на оккупированных территориях» старый кадровик возился всю жизнь, собаку на них съел, в общем-то знал, как действовать, нареканий сверху по этому поводу никогда не имел, а вот с «родившимися на оккупированных территориях», которые, собственно говоря, в кадровых списках-то стали появляться совсем недавно, не более десяти лет, что совпало, увы, с переносом тела из самого священного места в менее священное место, с ними все-таки была неясность, инструкции отсутствовали, и позиция как-то была не выработана — с одной стороны, вроде бы несмышленишами были во время пребывания на оккупированных территориях, а с другой-то стороны, вдруг вражье семя взошло?

Ну, если родился, значит, и проживал, с некоторым, под вопросом, легкомыслием, свойственным этим новым кадрам, сказал молодой гэбист. В принципе, если человек рождается даже в момент уличных боев, это все-таки означает, что он проживал на оккупированных территориях. А вот если наше знамя уже на городском театре, и в этот как раз момент человек рождается, а город уже не переходит назад к врагу, это значит, что он не проживал на оккупированных территориях, и значит, с этой стороны — чист.

Это что же, новая инструкция, поинтересовался кадровик и зорко глянул на гэбиста — случайно ли упомянут городской театр.

Нет, это мое собственное умозаключение, скромно признался гэбист и в то же время зорко подметил зоркость кадровика.

Неплохой получился обмен мимикой, прямо как в театре?

— Над театром, вы сказали?

— Да. А что?

Ну просто вот мамаша-то Игоря Ивановича как раз по театральной части, Сильва. Вот именно в том смысле, что поет Сильву. Нет, не пела, а поет по сей день, поет и танцует. Любопытно?

Нет, не очень. Любопытно, конечно, но не очень. У нас вообще интерес к товарищу Велосипедову средний, вполне умеренный. В общем, спасибо вам за консультацию, в общем, я пойду пока, так сказать, для визуального знакомства, а детали, в общем, по телефону.

Гэбист пошел в поршневой сектор и увидел прямо с порога молодого человека, которого сразу узнал, ибо предварительно изучил и фотоматериал. Огорчила гэбиста велосипедовская золотая шевелюра, под влиянием тяжелых переживаний она превратилась в желтоватомочалистые пряди длинных, но тощеватых волос. Зоркое око внутреннего разведчика отметило также обильный падеж волос на плечах синего халата и перхоть.

Объект сидел за столом, вперив тоскливо невидящий взор прямо в пространство перед собой, то есть в стоящего на пороге гэбиста. Иногда он как бы спохватывался, бросал взгляд вбок на тяжело работающий в специальном лабораторном углублении поршень, смотрел на дрожащие стрелки и ставил какие-то крючки в трех гроссбухах, распластанных перед ним на длинном столе, словно пироги с капустой к празднику Восьмое марта.

В углублении за стеклянной стенкой впечатляюще демонстрировал свою мощь поршень сорокатонного «Белаз», похожий на ступню двухтонного слона. Стенка цилиндра была для наглядности открыта, и поршень внушительно ходил вверх и вниз внутри своего влагалища.

Что— то помешало гэбисту немедленно вступить в личный контакт с объектом. Не менее пятнадцати минут он смотрел на эксперимент Велосипедова, все вместе представляло из себя нечто: мощное движение металлургического поршня и уязвимый клиент, слабой рукой заносящий в гроссбухи данные могучей долбежки.

Вот таков порядок вещей, вдруг подумал гэбист мысль, не относящуюся к работе. Вот такая получается символика, и так будет всегда, и чем больше, тем лучше для всех, не говоря уже об авангарде, — увы, чем больше он вникал в свою первоначальную мысль, тем больше приближался к работе.

Наконец взгляды их встретились. — Я из райкома комсомола, — сказал гэбист и почти не соврал. — Здравствуйте, Игорь Иванович! Давай на «ты»? Какая у тебя работа творческая, Игорь. Интересный эксперимент, ничего не скажешь. Напрашивается вопрос, когда наступает момент впрыскивания?

— Момент чего? — в глубоком унынии спросил Велосипедов.

Впрыскивание горючей смеси в газовую среду дэ-вэ-эс, охотно расшифровал свой вопрос гэбист. Ничего я тут не наврал, Игорь? Мы ведь, знаешь, стараемся сейчас не только словесами заниматься, времена Павки Корчагина прошли, надо вникать, вгрызаться. Согласен?

— Комсомол в эпоху эн-тэ-эр всегда в ногу, — с прежним унынием согласился Велосипедов.

А вот теперь, благодаря тебе, сказал гэбист, всякий раз, глядя на работу могучего «Белаз», буду понимать его внушительные внутренние процессы. Из лаборатории они вышли вместе.

Повсеместное разрастание сирени преобразило индустриальное захолустье. Женщины, огромною толпою осаждавшие овощную палатку, иной раз смотрели вверх на лиловую кипень и думали, как хороша была бы земля без мужчин, с одними юношами.

— Давай встретимся, — предложил гэбист.

— Так разве не встретились уже? — удивился Велосипедов.

Длинными своими пальцами — мама Сильва обычно шутила «пианист родился» — он мял болгарскую сигарету «БТ», которая по мере вrastания ее родины в социализм с каждым годом становится все туже. Наверное, насчет борьбы за мир, тоскливо думал он о своем комсомольском госте. Вот беда, разваливается португальская колониальная империя, а у нашего брата общественника голова болит. Увеличиваются нагрузки. За истекший месяц после письма в «Чес-том Слове», когда институтские активисты с восторгом приняли его в свою среду, три раза уже вытаскивали Велосипедова на трибуну клеймить Салазара и его последышей.

А вот что касается параллельного заявления, то здесь не особенно-то чешутся, несмотря на решения Партии. Лишь третьего вот дня вызвали в местком и предложили написать новое заявление о предоставлении садово-огородного участка. Товарищи, у вас уже три мои заявления лежат! Неужели в самом деле недостаточно?! Лишнее не помешает, объяснили в месткоме. Более современное заявление всегда дороже какого-нибудь устарелого.

Велосипедов мучился с шариковым карандашом на подоконнике и задавал себе исторический вопрос — зачем? Разве этому нас учили Ленин, Радищев, Вольтер?

Вдруг посещали дерзкие вдохновляющие идеи. Привезу из Болгарии две дубленки, а не одну! Тогда одну продам и выплачу за садово-огородный участок! На «Жигули» деньги одолжу у богатого и ему же их и продам за дороже, а на разницу куплю в Лианозове старый «Запорожец» и своими руками доведу его до спортивного состояния, будет бегать, как какая-нибудь «Ланча».

Все вроде получалось складно, как вдруг обнаружился в стратегии изъян — а в Болгарию-то за дубленками на какие шиши поеду, и тут же дерзновенная идея быстрого вставания в общество «зрелого социализма», вернее, вставания из одного сменялась беспросветным унынием — да куда уж мне, я неудачник, не по мне такие подвиги, меня моя девка прогнала за предательство демократической идеи и вот я по ночам мучаюсь от половой жажды, из меня даже истекает семя...

Вот если бы революция, и я в ней режиссером-постановщиком! Какие массовки! Какие массовки! Штурм Центрального Универсального! Вперед, товарищи!

По части киногорез тоже имелись, конечно, определенные неприятности, и не в том они в общем-то заключались, что снимать не дают, пока что и не просил ведь, а в том, что восставать не против кого. Ведь не против же своей власти бузить, которая и есть власть восставших, что каждому известно с детства, это что за большевик лезет там на броневик. Ведь революцию же, увы, против революции же, увы, не устроишь. Как ни старайся, окажется она контрреволюцией и будет иметь неприятный душок.

А правда, что тебя по делу расхитителя Самохина вызвали? Новый приятель слегка обнял Велосипедова за плечи. Может, на пару, Гоша, работали? Может, тебе зарплаты не хватает? Повестка-то у тебя при себе? Разреши полюбопытствовать. Гэбист взял из руки Велосипедова задрожавшую на ветру пакостную повесточку, глянул на нее издали, не приближая к глазам, смял в кулаке и забросил бумажный шарик в шелестящие кусты. Такие дела, старик, будем решать в своем кругу, по-комсомольски.

Давай, Игорь, зови меня Женей, давай по-человечески повстречаемся в гостинице «Россия», а? Приходи в среду, после работы, на пятый этаж, номер 555, вход «Север», лады? Коньячок гарантирую.

Интересный хлопец, думал гэбист, катя под землей в метро до пересадки «Площадь Революции». В уме он все перебирал и перебирал бумаги из личного дела Велосипедова, копии были в настоящий момент заключены в его «дипломате», но извлечению не подлежали, совершенно секретно. Проживал на оккупированной территории, хочет в Болгарскую Народную Республику... Интересный, интересный хлопец — куда его качнет?

## Бледное И Нагое

Однажды я захожу к ней (без звонка, ключ сохранился от прежнего счастья), и что же я вижу в «ливинговой»? За стоном королевский остолоп Валюша Стюрин, и его моя девка кормит отбивную котлетою.

Все, как раньше, как в былые недели, когда-то со мной — с куплетами, с прихлопываньем, с пританцовыванием кружится Фенька вокруг лошадиной немой твари, и она, то есть тварь, то есть он, Валюша, охотно и запросто поглощает неплохую, явно не магазинную, а скорее всего, даже не базарную, а «березовую» отбивную, и вот на пороге, как Статуя Командора, грозно встал оскорбленный Велосипедов, немая сцена!

Взгляды наши пересекались. На кухне свистел чайник. Полное отсутствие джазовой скрипки. Фенька пожала плечами и засвистела что-то, глядя в окно. Стюрин, вспомнив, что из королей, задрал свой пскопской рубильник. Вот, между прочим, хорошая тема для дискуссии в «Комсомольской правде» — фальшивые дворяне и короли, появившиеся среди советской молодежи, не результат ли это определенных ошибок в воспитательном процессе, не приведет ли это нас к «социализму с человеческим лицом»?

Я повернулся, как на военном параде, левое плечо кругом. Мгновенное головокружение, схватился за притолоку, опомнился на улице, кричал грачиный грай.

Через час, когда добрался до дому, был звонок.

— Ну, что ты, Велосипедов? — глухо спросила Ефросинья.

— Приезжай ко мне! — взмолился я.

— Нет уж, — отказала девка, но потом добавила: — А хочешь просто так, вались сейчас на Патриаршие пруды.

— Это где? — растерялся я от счастья.

— Ты что, Булгакова не читал? — спросила она. Признаюсь, я просто-напросто завопил:

— Да как тебе не стыдно? Ты во всем мне отказываешь, Ефросинья! Почему же это я Булгакова-то не читал?! Ты думаешь, Фенька, что только хипповые мудилы из Алой и Белой розы все читали?! Нет, читал! Читал! Я современный человек! Я вижу действительность панорамно! Понимаешь? Панорамно!

И вот мы сидим с ней вдвоем на скамейке около пруда, как будто «Бедная Лиза» писателя Карамзина, сентиментальное направление. Разумеется, у девки все направлено на внешний эффект и добывается своего: бабки, гнездящиеся вокруг пруда, злобно шепчутся, тычут пальцами в ее сторону, видимо, трудно перенести вторжение молодой особы с надписью на штанине «Тише, мыши!», в куртке, расшитой военными пуговицами, и в мужской шляпе времен Мирового Экономического Кризиса, которую Ванюша Шишленко забрал у своего дедушки, отставного советского шпиона на нью-йоркской фондовой бирже.

— Ты совокупаешься с Валюшей, — гневно сказал я.

— Был грех, — вздохнула она.

— Ты хочешь сказать, что?! — вскричал я. — Вот именно, — кивнула она. — И Ванюша тоже? — спросил я.

— Ну, а как ты думаешь, Велосипедов? — улыбнулась она.

— Может быть, и еще кто-нибудь?! возопил я. — Может быть, — она развела руками и пожалала плечиками.

— Кто, кто?! — ярился я, разрываемый сладкой мукой, от каждого ее признания все больше огня собиралось в чреслах.

— Ну, мало ли кто-о-о, — протянула она, округляя свой алый рот. — Ну, мастер мой, например.

— Как! — я даже подпрыгнул на скамье. — И старая обезьяна тоже?!

— Ну, а как же ты думаешь? — в позе оскорбленного достоинства спросила она. — Старый, знаменитый, передает свой опыт, как же можно ему не дать?

Я молчал, сжигаемый своей мукой.

— Увы, — проговорила она, — большой нынче спрос на эту штуку, — и положила себе для наглядности ладонь между ног. И слегка зевнула.

И в этот момент в глубине кадра, за путницей ветвей, в этой булгаковско-карамзинской литературе, возникает и останавливается такси, словно осуществление могучего желания, не вполне реальное, но, видимо, способное перенести нас туда, куда... Такси! Такси! — я помчался к решетке сада.

Фенька уже шла за мной — шляпа набок, в зубах сигарета, пожимала плечами, разводила руками: вот, мол, вам, пожалуйста, что и требовалось доказать.

Когда мы уже намучили друг друга до полного изнеможения и лежали неподвижно-нагие на моей холостяцкой тахте, в комнату из-за стены проникла классическая музыка; не исключено, что под ее влиянием снова вскипело мое оскорбление:

— И все-таки! Как могла! Ты! Ему! Отбивную!

— Стравинский! — сказала она, пальцем упираясь в стену. — Стравинский — это класс, а Велосипедов — это говно.

Она приподнялась на локте и стала ладонью покачивать в такт Стравинскому.

— У тебя, конечно, Велосипедов, момент эякуляции потрясающий просто, бух-бух, как извержение Везувия, но, увы, в человеческом смысле ты — полный ноль.

— Это что же?!

Я теперь стоял у стены, хоть и нагой со всем своим отвисшим хозяйством, но со скрещенными на груди руками. Кажется, сильно горели глаза.

— Это, значит, из-за «Честного Слова»? Из-за открытого письма деятелей общественности? Что же, Ефросинья, из-за Сахарова — Солженицына, так получается? Из-за жалкого клочка бумаги, куда близкий тебе человек попал по полнейшему недоразумению? Что, Ефросинья, на камне, что ли, выбито это дурацкое письмо, на мраморе, на благородном, что ли, металле выгравировано? Кто помнит, Ефросинья, эти газетные пузыри на следующий день после использования в сортирах? Ведь просто же ж макулатура ж, хоть и миллионными тиражами! Ведь то, что ты позором-то полагаешь, ничего другого, как труха, мадемуазель, а человеческая-то личность вот она, перед тобой!

Тут я как-то произвольно и трагически рванул к любимой девке, но остановлен был ее смехом, резким, как джазовая скрипка. Видно, при порывистом движении мотнулось в сторону мое хозяйство, вот и причина смеха у бездушной молодежи.

Уже в дверях, в нахлобученной шляпе и с сигаретой во рту, она подвела итоги:

— В общем, Велосипедов, захочешь прокачать систему, бух-бух, звони.

И была такова.

Полночи я маялся. Дурманом сквозь полусон наплывали тексты резолюций и призывов, выделялись принты больших советских орденов. Наконец не выдержал и набрал ее номер.

— Ты, Ефросинья, раба бумажного мира! — резанул я ей напрямую.

— Как ты сказал? Как? — заинтересованно переспросила она.

— Фундаментальные основы жизни от тебя скрыты, — нанес я ей второй удар.

— Как ты сказал? Как? Как?

...Как, как... все еще звучит у меня в памяти тот наглый девчоночий голосок, который даже и тогда, десять лет назад, не ведая еще иноязычного смысла, придавал этому простейшему звуку похабное и подиравшее по коже выражение.

В 7.15, за полчаса до обычного пробуждения, резкий звонок в дверь. Вскрываю, в зеркале вижу бледное, с висящими волосами, как бы и не я, тень моего стыда.

Наверное, арест по делу Самохина. Оклеветан и продан в рабство, а ведь не воровал, только один раз вместе с другими выпил на наворованное.

За дверью — два румяных карапуза в пионерских галстуках.

— Дядя, мы собираем бумажную макулатуру. Она нужна стране!

— Идите прочь, лицемеры! Стране нужны честные дети, а не обманщики!

## Сестры, 1973 Год

Но вот, уж право, где высились бумажные горы, тревожащие воображение Велосипедова, так это у его соседки, профессионалки Тихомировой Агриппины Евлампиевны! Стопы перепечатанных манускриптов по всем столам, по стульям, по подоконникам, на полу... при небольшом даже художественном воображении можно это было сравнить с небоскребами Манхэттена.

И как ничего приятного для советской власти нет на Манхэттене, так ничего приятного для нее и в Агриппининых «небоскребах» не содержалось. Специализировалась Агриппина по Самиздату и со скоростью необыкновенной, или, как выражалась порой ее сестрица Аделаида, «достойной лучшего применения», размножала в пространстве социализма сочинения неизвестно откуда взявшихся в этом близком к идеалу обществе критиканов.

Поначалу, конечно, Агриппина Евлампиевна удивлялась, работая крамолу: как же это можно на Партию замахиваться, вот природа человека, никакой благодарности, как будто не понимают, что у Партии только одно и есть — Народ, его нужды, ведь как же можно Партию-то так грубо, никакого у людей нет чувства меры.

Однако год за годом, под очевидным влиянием все нарастающего потока этой невидимой литературы Агриппина Евлампиевна стала размышлять уже другим путем: как же это Партия так может притеснять права человека, ведь мальчики ничего другого не хотят, как только лишь объяснить Народу порочность однопартийной системы, зачем же выгонять с работы, ссылать, вот уж получается полное отсутствие демократии.

Раз в неделю Агриппину навещала сестра-близнец Аделаида, приносила торт, и тогда — рукописи побоку! — девы заваривали крепчайший чай и в сигаретном дыму обсуждали события своей жизни.

Агриппина Евлампиевна обычно рассказывала о каком-нибудь очередном своем авторе, который, разумеется, становился, как она любила выражаться, ее «пассией».

У Вадима трое детей, он подвижник, светлая голова, недавно крестился сам и крестил всю свою семью, человек энциклопедических знаний. А какая семья, Ада, вообрази: пришли с обыском, а старшая девочка Лилечка засунула рукопись под матрас и легла, как будто высокая температура, вот тебе и малышка одиннадцати лет, что и говорить, настоящая пионерка!

— Поэтому такое значение и придается у нас воспитанию молодежи, — кивала Аделаида. — Важнее этого дела нет ничего.

И Агриппина радостно кивала. Она привыкла почитать свою сестру, которая была ее старше всего на три минуты, но поднялась намного выше по жизненной лестнице, работала в райкоме КПСС и фактически вся культура гигантского района Москвы была у нее в руках: театры, издательства, киностудии, творческие союзы и даже ресторан Всероссийского театрального общества.

— К сожалению, Гриппочка, — иногда сетовала Аделаида, — порой наталкиваешься на непонимание даже со стороны вышестоящих товарищей. Вот, например, мой... — тут Аделаида Евлампиевна обычно поджимала губы и становилась похожей на девятистолетнюю партиюку Стасову по кличке Абсолют, — мой шеф, Гриппа, порой заслуживает нелицеприятной критики. Ему напоминаешь о важности работы с подрастающим поколением, а у него похабщина в глазах. Окружил себя развратниками, взяточниками, при виде любой заграничной штучки просто дрожит, хотя теоретически довольно подкован, этого у него не отнимешь.

— Коррупция, — с пониманием кивала Агриппина Евлампиевна. — Коррупция, словно проказа, запечатлелась на лице правящей партии...

— Ну, это, конечно, дешевая буржуазная пропаганда, — отмахивалась Аделаида Евлампиевна. Она привыкла к тому, что младшая сестрица всю жизнь несла околесицу, привыкла и мирилась с этим, потому что Гриппочку обожала. — Коррупция — это, конечно, вздор, диссидентская заумь, но, увы, Гриппочка, очевидный факт — таких кристальных людей, как Михаил Андреевич, в Партии стало меньше.

— Это какой же такой Михаил Андреевич, Адочка? — с лукавинкой спрашивала Агриппина Евлампиевна.

— Суслов, — говорила Аделаида Евлампиевна, глядя в окно, за коим юго-западный майский ветер обычно раскачивал об эту пору верх вязов.

— Ой! — всплескивала руками Агриппина Евлампиевна. — Да ведь это тот самый Суслов, который расправлялся с народами Северного Кавказа?!

— Михаил Андреевич всегда был там, куда его посылала Партия, — сухо поправляла сестру Аделаида Евлампиевна.

— Ой! — Агриппина Евлампиевна заглядывала сестре в глаза. — Ой, Адочка, да ты, кажется... того?... — Она прижимала руки к груди и шептала еле слышно: — Давно?

— С февраля, — признавалась Аделаида Евлампиевна. — Он выступал на предвыборном активе во Дворце культуры Тормозного завода, и я...

— И ты? — замирала Агриппина Евлампиевна.

— По ма-куш-ку, — с горящими глазками, с румянцем признавалась Аделаида и для пущей убедительности хлопывала себя по начинающей уже просвечивать макушечной выпуклости.

— Ах ты пострел! — корила ее младшая сестрица. — Ах ты наш вечный пострел!

Сестры обнимались, целовались, шепотом, как в детстве бывало в общей постельке, поверяли друг другу сердечные тайны. Своеком М.А.Суслова оказывался матерый самоиздатчик, бывший физик, ныне философ, сибиряк, социолог, логик, еврей, конечно, но ты не можешь себе представить, исключительной чистоты человек!

Была, впрочем, у сестер и общая «пассия» — балет! С нежных лет обе были балетоманками, знали в этом мире всех и вся и фаворитов своих выбирали с толком.

Сейчас пальма первенства была по праву отдана молодому солисту ГАБТ Саше Калашникову. Ах, этот Саша, такой маленький, как солдатик, и такие крепенькие ножки! Он танцует как настоящий интеллигент, говорила Агриппина Евлампиевна, видно, что критически мыслящая личность. Вот наглядные результаты воспитания нашей молодежи, поучительно говорила Аделаида Евлампиевна. Гений, простота, ненавязчивый патриотизм!

— Агриппина Евлампиевна, я звоню-звоню, а никто не открывает, хотел уходить, но слышу голоса, сначала думал радио, но потом рискнул, толкнул дверь, а она не заперта, это вы зря так неосторожно, надо хотя бы цепочку накидывать, а то притащатся какие-нибудь... сборщики бумажной макулатуры...

С этим вздором на устах в квартире появился бледный, как оперный герой, сосед Игорь Велосипедов.

Какой интересный молодой человек, сразу же подумала Аделаида Евлампиевна. Просто народоволец, подпольщик-марксист, вдохновенный строитель Комсомольска-на-Амуре. И неужели вот такой приятный, исполненный такой высокой духовности (словечко это Аделаида недавно подцепила у ожидавших фелъевского приема деятелей искусств), такой по большому счету (тот же источник) хороший юноша стоит в стороне от Партии или... чего уж греха таить... один из Гриппочкиных клиентов, то есть по другую сторону баррикад? Такое к тому же удивительно знакомое лицо, должно быть, просто литературный образ. За таких юношей надо бы бороться, надо бы решительно протягивать им руку...

От Агриппины, конечно, не ускользнуло, какое сильное впечатление произвел вошедший на сестрицу.

— Это, Адочка, мой сосед Игорь Иванович, — сказала она. — Игорь, познакомьтесь с моей сестрой. Адочка работает в партийных органах.

Велосипедов через силу улыбнулся. Где-то уже видел эту козлятину, подумал он.

— И что же, Игорь Иванович, вы тоже?... — Аделаида с легким смешком, будто о картишках или о дамочках, показала глазками на Гриппочкины бумажные небоскребы.

— Б-р-р, — ответил Велосипедов. Трепал некоторый ознобец.

— Нет, нет, Адочка, ничего опасного, Игорь Иванович... ну... ну просто пишет... просто пробы пера... — поспешила на помощь Агриппина и подмигнула Велосипедову в целях конспирации.

— Похвально, если просто пишете, — по-меценатски, но со значением сказала Аделаида Евлампиевна и встала. — Очень приятно было познакомиться. К сожалению, мне пора, у нас сегодня важнейшее мероприятие, встреча побратимов, шарикоподшипникового завода и театра имени Вахтангова. Вот, Гриппочка, твой билет на «Лебединое», встретимся, как всегда, у третьей колонны... — Она слегка замешкалась, еще раз взглянула на Велосипеда, и вдруг ее осенило — нужно познакомить этого юношу, который на перепутье, с другим настоящим советским юношей творческого направления. — А вы, Игорь Иванович, балетом не интересуетесь? Вот в четверг Саша Калашников танцует, есть билет, не хотите познакомиться?

— С восторгом, — промямлил Велосипедов. — Сколько я вам должен?

— Это бесплатно. Из наших фондов. Итак, до четверга! Сильно бухая гэдээровскими сапогами «на платформе»,

Аделаида Евлампиевна покинула сестрину квартиру, после чего Велосипедов облегченно вздохнул и отрезал себе райкомовского торта.

— У вас что-нибудь есть? — конспиративным тоном спросила Агриппина Евлампиевна.

— Ноль, — признался Велосипедов и, не донеся сладчайшего кусочка до рта, с кислейшим выражением лица осмотрел тихомировские «небоскребы».

— Любопытно, Агриппина Евлампиевна, это что же, вот столько всего разного люди едят?

— Вот едят, видите, время даром не теряют, — гордо подтвердила Агриппина. — Вот, пожалуйста, на столе шесть башен — интереснейший роман с четырьмя перевоплощениями за пять тысяч лет. А вот на кровати раскидана распечатка хроники Тамбовского восстания, аутентичный текст «Против кровавой большевистской диктатуры», на подоконнике о преступлениях в биологической науке, на полу, на коврике, там — эротическая поэзия и разоблачение национальной политики на Кавказе, как раз про Адочкиного Мишу Сус... впрочем, вы не в курсе...

— А это не опасно, Агриппина Евлампиевна? — поинтересовался Велосипедов. Он как раз откусил торта, и теперь его постепенно охватывала память то ли о нежном детстве, то ли о том, чего с ним самим никогда не было.

— Очень опасно! — воскликнула Агриппина с энтузиазмом. — Иногда по ночам от звука лифта просыпаюсь, дрожу... однако такое уж наше дело...

— А почему, Агриппина Евлампиевна, вы со мной так откровенны?

— Ну, вы же свой человек, Игорь Иванович!

— Позвольте, Агриппина Евлампиевна, я-то ведь как раз... некоторые склонны считать... Вы разве не в курсе?. Солженицын, Сахаров... Мое письмо Брежневу... помните? Вы были так любезны...

— Конечно, помню! Дерзкое, смелое письмо! Большой резонанс! Кажется, по «Немецкой волне»?

Велосипедов застонал, как от зубной боли, райкомовский торт потерял свой сказочный вкус. Ясно, что машинистка, дунув тогда одним махом его сочинение, даже и не разобралась, что письмо-то просительное, подхалимное, в пользу самого себя, насчет постоянно растущих и законных, такие письма по «Немецкой волне» не передаются, в отличие от тех, что во имя общей справедливости, такие частенько можно услышать по иностранному радио.

Агриппина смекнула, что слегка что-то напутала, но виду не подавала и, зная самолюбие своих авторов, решила стоять на своем: письмо помню, честный и смелый человеческий документ, его передавали если и не по «Немецкой волне», то по «Свободе», да, сама слышала, деталей сейчас не помню, таких событий немало, но общее впечатление отличное, и вот, не поручусь, но, кажется, слышала, как сам Яков Протуберанц высказался в том духе, что «нашего полку прибыло», хотя за детали, повторяю, не поручусь, вы же сами видите,

Игорек, сколько у меня работы и с каждым днем прибавляется, но, если у вас будет еще что-нибудь интересное, пожалуйста, не стесняйтесь.

А вот давайте-ка, Игорек, я вам пока отрежу кусок торта, возьмите с собой, это, знаете ли, не городской торт, а из распределителя, у Адочки по номенклатуре полмоссоветского пайка, и продукты там, конечно, не нашим чета. Вот, например, «алтайское масло» — когда его пробуешь, пахнет высокогорными лугами. Однако Адочка, надо отдать ей справедливость, щедро делится своим полпайком и со мной, и с семьей брата Николая, и отправляет основательно нашим племянницам в Омск, ведь там нет ничего, и даже соседям уделяет очень неплохо, там больная мама, нужно давать что-то качественное и диетическое. В общем, я вам скажу, не вдаваясь в детали, Адочка — это человек с большой буквы, работает на ответственном участке, обожает искусство, и ведь всего добились сама, без посторонней помощи!

— Я собственно говоря, Агриппина Евлампиевна, пришел с просьбой. У вас почитать чего-нибудь на ночь не найдется? Бессонницей мучаюсь.

— Конечно, найдется. Вот вам, пожалуйста, «Каталог внушений социалистической законности». Название скучное, но читается, как «Королева Марго». Ну, вот вам еще в придачу блестящее эссе «Фальшивая реальность» Яши Протуберанца.

Обремененный пухлыми рукописями и основательным сектором торта. Велосипедов поднимался пешком по лестнице к себе на седьмой этаж, с тоской взирал на сопровождавший его движение молодой месяц за пыльным стеклом лестничной клетки.

У дверей своей квартиры он постоял несколько минут в тишине, показал месяцу через плечо щепотку медной мелочи, найденной в кармане, чтобы стало больше денег. От торта исходил томительный аромат весны и высокогорных лугов, ведь приготавливали его на том же исключительном «алтайском масле». Нежностью этой томимый, Велосипедов переступил порог своей квартиры, не подозревая, что делает еще один, так сказать, судьбоносный шаг к новой жизни.

А ведь именно на такие натуры, как Велосипедов, с его неустойчивой вегетативной системой, с его генетической памятью и сухостью кожи, во многом и рассчитаны произведения так называемого Самиздата, в отличие от произведений Госиздата, которые во многом рассчитаны на натуры с устойчивой вегетативной системой, умеренно увлажненной кожей и без генетической памяти.

## Без Подлежащих

*Москва, Кремль*

*Генеральному Секретарю ЦК КПСС*

*Леониду Ильичу Брежневу*

*от Велосипеда Игоря Ивановича,*

*адрес на конверте*

## Уважаемый Леонид Ильич!

*Вновь отрываю от Вас Ваше драгоценное, которое всецело направлено на укрепление во всем мире. В конечном чтобы выразить свою текущим нашей социалистической демократии. Глубокое производит бессонное «Каталога нарушений социалистической законности» видим налицо процесс усугубления восстановления злоупотреблений. Простите полон тревог.*

*На местах не на все сто понимают Ваши предначертания архитектора международной разрядки. Во всем мире, конечно, торжествуют прогрессивные народно-освободительного, окончательный крах колониальных. Возьмем Португалию, государство-грабитель с двумя огромными мешками в Африке, полными пробуждающимся Африканского континента. Осуществляется вопиющая по отношению к коренному, и всегда по приглашению парткома гневно разоблачаю с единодушной поддержкой.*

*Огромное на присутствующих произвело Ваше в бундестаге Германской Демократической Республики. Цитирую: правящие стран НАТО толкают человечество на опасный курс гонки. Лучше не скажешь, дан хороший марксистский, позволяющий раскрыть.*

*А на Востоке? Гегемонизм! Пекинское под руководством Мао заменило интернациональную великодержавным, угрожая священным границам нашего великого. Вот так нарушая законность бросают шакалам кость и обнажают фланги прогрессивного.*

*Я бы Вас попросил вот о чем. Верните крымскому народу татар их сокровенный остров, с немалыми трудами освобожденный нашими у немецко-фашистских. Свободу Гинзбургу и Галанскову! Освободите космонавта Владимира Быковского, летал не для Вас, а для всей страны! Прочь от Сахарова и Солженицына, свобода творчества! Нужно вывести наши славные вооруженные из братской Чехословакии. Прекратить принудительное психиатрическое! Продумать вопрос о свободе слова, печати и собраний в свете В.И.Ленина (том XII, гл. 3, стр. 8, стр. 3 свх). Фальсифицированным выборам в Верховный Совет СССР — бой!*

*Это на первых порах, в дальнейшем детали. Вышеуказанные помогут в дальнейшем семимильными к осуществлению многовековой человечества — построению бесклассового.*

*Не призываю Вас к созданию многопартийного, потому что в этом не согласен даже с нашими видными правозащитниками — она, конечно, бывает только одна, как писал поэт, миллионопалая, сжатая в один дробящий кулак, сказано впечатляюще до дрожи.*

*В первом своем обращался к Вам с просьбой внести в списки очередников на автомашину «Жигули», садово-огородный и гостевая в Болгарскую Народную. Это мое прошу считать недействительным и одновременно забираю подпись из-под открытого письма в газете «Честное Слово», потому что в определенных кругах столицы нашей родины продолжает циркулировать, что я продажный и будто бы участник травли выдающихся за человеческие права.*

*Леонид Ильич, давайте договоримся вместе бороться против недоразумений! Есть только одна альтернативная человечеству — подлость! Верю, вы с нами как исторический с Вашим отчеством, кого привыкли обожать с детства, и требуем — убрать его с денег!*

*Если чего-нибудь в письме не хватает, прошу извинить. Основной подспудный исходящий из глубин души трудно выразить на бумаге. Надеюсь, со свойственной Вам государственной поймете мою несложную, а если нет, увы, становитесь жертвой «фиктивной реальности», согласно книге того же названия, советую прочесть.*

*Примите самые искренние самого лучшего*

*Искренне Ваш И. И. Велосипедов, инженер.*

Письмо писалось ночью лихорадочным карандашом под основательно залежавшуюся копирку. Зачем копировать-то, если на три этажа ниже проживает дружественная профессионалка? Однако ждать до утра не было мочи, горело все внутри, душа пылала над неожиданно открывшимися безднами тоталитаризма. Все, оказывается, было заложено в Велосипедове, ничем не оказался обделен — чувство справедливости, жажда борьбы, тяга к самопожертвованию!

Нет, до утра дожидаться просто было невозможно!

Отыскал конверт с рисунком ко дню Советской Печати Пятого Мая, вот и кстати, тематически близко! Нашлась и марка с космическим сюжетом, полет на лабораторию с пересадкой туда и обратно или только туда, во всяком случае не стыдно направлять в такой высокий адрес.

По ночам Москва чиста, и улицы просматриваются насквозь с мигающими сквозь редкую еще листву желтыми светофорами, и кажется, что город этот открыт во все концы, что холодная весна соединяет его с Европой, что город этот переходит в твою страну и далее, в предполагаемое и за твоей страной продолжение жизни и любви.

Он опустил письмо в синий ящик с тисненым политическим гербом. Москва, Кремль, товарищу Брежневу Леониду Ильичу, надеюсь, дойдет.

## Крупнейшая В Европе, Вторая В Мире

В среду, значит, как договорились, отправляюсь на свидание (иначе и не скажешь) к комсомольцу Евгению. Есть некоторое недоумение — почему в гостинице? Кажется, ведь москвич, если из райкома комсомола. Впрочем, может быть, у него там кореш остановился. Знаете, как бывает — кореш в гостинице, вот широкие возможности, вот свобода передвижений! Так однажды и у меня получилось с болгарским коллегой Боско Росевым, в гостинице «Пекин» гуляли два дня, не просыхая, и поклялись в вечной дружбе болгарского и советского народа.

Гостиница «Россия», по слухам, крупнейшая в Европе и даже, как говорят, вторая в мире, лежит между Кремлем и Высшей артиллерийской академией, в подвале которой, опять же по слухам, за точность не поручусь, артиллеристы расстреляли из пушки маршала Берия, мингрела по национальности.

И вот я в коридоре пятого этажа этой известной гостиницы, иду, курю сигарету за сигаретой, немножко волнуясь, потому что чувствую на себе подозрительные взгляды горничных. Три раза останавливают дежурные по этажу — куда направляетесь, молодой человек? Однако при звуке 555 эти малопривлекательные тетеньки становятся, ну, не любезными, но как бы понятливыми. Ага, ага, дальше, пожалуйста, по этажу, там вам покажут. Оглядываюсь, вижу — смотрят вслед важные женщины с довольно заметным напряжением. Ну, вот наконец и цель нашего назначения — 555, стучу. На пороге Женя Гжатский.

— Здравствуй, дорогой!

Вижу, на столе уже отмечается угощение, 0,5 трехзвездочного дагестанского, бутылка боржоми, бутылка лимонаду, 0,75 ркацителы, из закуски колбаса «салями», горбуша, заливной судачок. В вазе дюжина конфет, пара яблок.

— Давай сразу вздрогнем! — предлагает Женя.

Не вижу причин отказываться.

Вздрагиваем. Смотрю на Женю — приятный такой, открытый, человеческий.

— Ты стихи пишешь? — спрашивает он и, получив отрицательный ответ, задумчиво так начинает смотреть в окно на Москву-реку и Теплоцентраль с мудрым ленинским афоризмом «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация!». — А вот со мной случается, — тихо говорит Женя и начинает декламировать:

Коммунизм — электричество  
И в любви и в труде он не даст нам упасть!  
Есть Дульсинея у каждого советского человека,  
Это  
наша  
Советская  
Власть!

Это под Маяковского, — пояснил он, но я, конечно, и сам об этом догадался по манере изложения.

— Там у тебя лесенка в конце? — спросил я. Женя Гжатский даже ахнул:

— Ну, Игорек, ты даешь! Из наших ребят никто не догадался, что в конце лесенка.

Мы тут же вздрогнули по второй «за поэзию», и я попросил разрешения позвонить по телефону. Женины глаза блестели неподдельным интересом, пока он смотрел, как я набираю номер, вот равнодушный человек!

Фенька сняла трубку только после пятого гудка.

— Давай! — по обыкновению, закричала она, призывая звонящего «давать». Как всегда, за спиной у нее был топот, гогот, джазовая скрипка, квартира быстро превращалась в настоящий интеллектуальный бардак.

Я молчал, слушая ее столь мной обожаемое сбивающееся дыхание. Там моя девка сейчас стоит, нетерпеливо облизывая свои алые губы.

— Велосипедов, что ли? — захохотала она.

Я молчал, и пламя уже лилось от нее ко мне через весь столичный телефон и собиралось грозным грузом у меня в чреслах.

— Велосипедов, между прочим, ты знаешь, что можно факовать по телефону? — спросила она.

Я вдруг обнаружил, что у меня рот раскрыт и стекает слюна.

— Мудак! — крикнула она и бросила трубку. Вспышка! Это Женя Гжатский сделал снимок — я с телефонной трубкой и приоткрывшейся пастью.

— На память, — пояснил он, а потом задал мне довольно удивительный вопрос: — Скажи, Игорек, в детстве тебя мама не Герой ли звала, не Германом, не Генрихом, не Францем, случайно?

— Гошей звала, — припомнил я свою бедную легкомысленную мать.

— А Гансиком не ласкала? Что-нибудь такое не напевала — ты покинул отчий дом, бросил ты Эльзас родной?... Случалось такое?

Женя Гжатский смотрел на меня внимательнейшим образом.

— Да с какой же это стати? Гошей меня мать звала, да и сейчас Гошей зовет, а чаще, как ни странно, «друг мой» говорит, такая у нее забавная привычка. А почему ты так спрашиваешь, Женя?

— Да просто любопытно, но вообще-то там у вас в Краснодаре-то немцы ведь стояли, когда ты родился, правда? Просто, может быть, у мамы твоей немецкие имена в памяти застряли, ничего удивительного, ведь Германия — страна высокой культуры. Гитлеры приходят и уходят, как товарищ Сталин сказал, а народ германский, а государство германское остается. И вот тебе доказательство мудрой цитаты — Вальтер Ульбрихт, Анна Зегерс. А вот у тебя самого, лично, Игорь, есть какая-нибудь тяга, ну, пусть такая внутренняя, необъяснимая, к германской культуре?

— Я лично Генриха Бёлля люблю, — сказал я. — «Глазами клоуна». Вот это книга! А как ты, Женя, между прочим, узнал, что я лично с Краснодара?

Вопрос остался без ответа, потому что тут как раз к нам в номер вошла горничная с новой бутылкой дагестанского на подносе, с ркацителю, закуской, в общем, полное повторение прежнего набора, но к этому также прилагается счет. — Жаркович просил заплатить сразу, — сухо говорит она Жене Гжатскому.

— Как это так?! — вскричал Женя Гжатский с такой страстью возмущения, как будто у него что-то родное отбирают. — Вам разве не звонили наши товарищи? Жарковичу лично Зубец при мне сказал по телефону — оформляйте по безналичному!

— Мое дело маленькое, — сказала тетушка. — Я ваших Зубцов не знаю. Идите сами с Жарковичем объяснитесь.

— Ох, какая вы, мамаша, — вздохнул Женя Гжатский и мне шепнул: — У тебя нет рубля?

— Как раз рубль и есть. — Я достал то, что просили, мятую крошку рубля.

Женя взял рубль, вышел вместе с горничной в коридор и тут же вернулся, все улажено.

— О'кей, — говорит он после этого. — Хочешь проверить мужские свойства характера?

Рраз, и засучивает рукав пиджака вместе с рубашкой. Обнажается банальная татуировочка — кинжальчик, обвитый пресмыкающимся, как-то не ожидалось увидеть именно это над запястьем Жени Гжатского, комсомольца эпохи научно-технической революции.

— Это еще от лагеря осталось, — пояснил он, — от пионерского... Ну вот, засучивай рукав и ты, Гера, то есть, прости, Гоша. Так? Клади руку на стол вплотную к моей. Сделано. Теперь, Герман, то есть, прости, Игорь, кладем между нашими руками вот эту горящую сигарету «Мальборо». Лады? Положение, как видишь, равное. Кто дольше выдержит?

Зачем я согласился? Жутчайшая сатанинская боль от горячей иностранной сигареты через руку пронизала все тело, дергаются ноги, лицо искажено омерзительной гримасой страдания, это я вижу в зеркале, где отражается также невозмутимый модно подстриженный затылок Жени Гжатского, в то время как прямо передо мной через стол его неподвижное лицо и устремленные на меня неподвижно яростные глаза Павки Корчагина, смерть врагам революции.

И вот я взвыл и отдернул руку, признаюсь, ненадолго хватило моих мужских качеств.

Женя Гжатский бросил мне кусочек туалетного мыла — протри ожог!

— Вот видишь, Герман, ой, прости, сам не знаю, почему немецкие имена все в голову лезут, вот видишь, чьи мужские качества преобладают. А хочешь быть таким же стойким, настоящим мужчиной? Есть у тебя такое похвальное желание?

Ну конечно, кто же не хочет, кто же откажется от такого предложения, я, понятное дело, кивнул.

— Вот так молодец! — радостно вскричал Женя Гжатский. — Значит, прибыло нашего полку! Поздравляю, Гошка, от всех наших парней тебя поздравляю. Давай, Игореша, подписывай бумагу, и сейчас мы сразу же еще вздрогнем!

На столе передо мной бумага с каким-то типографским текстом и с местом для подписи. Читать, по правде говоря, после испытания сигаретой не очень-то хочется, и я подписываю данную бумагу. Наверное, заявление в какой-нибудь кружок Добровольного Общества Содействия Армии, Aviации и Флоту, там сейчас, я в газете видел, проводятся интересные эксперименты по укреплению мужских свойств характера, даже йога и карате уже почти разрешаются.

— Это при ДОСААФе? — спросил я Женю.

— Частично, — улыбнулся он и бумагу убрал в свой чемоданчик.

— А в общем-то чем будем заниматься? — поинтересовался я.

— Да ничего особенного, Гоша. Ну, просто мужская крепкая дружба, взаимовыручка, ну, как среди десантников, понимаешь?

— Вот здорово! -я просто восхитился перспективой такой спайки. — А с чего начнем, Женя?

Женя Гжатский ликовал, сиял, «милел людскою лаской».

— Хочу тебе напомнить, Гоша, одну подходящую цитату лучшего, талантливейшего нашей социалистической эпохи. «Юноше, гадающему делать бы жизнь с кого, скажу не задумываясь, делай ее с товарища Дзержинского». Надеюсь, помнишь?

— Конечно же помню, преотличнейшая цитата, однако, Женя, я уже далеко не юноша, увы, уже к тридцатке подходит.

— Никогда не поздно, — возражает Женя Гжатский. — И вот тебе для начала, Игореша, вот тебе первое задание, да не задание даже, а просто, ну, как бы сказать, ну, в общем даже и не знаю, как назвать, но не задание, конечно, а просто есть у вас в лаборатории некто Спартак Гизатуллин, вот с него и начнем.

— Как тебя прикажешь понимать, Женя? Что это значит — с него начнем?

— Ну, как бы тебе попроще, Игореша, дорогой ты мой человек, объяснить? Давай-ка вот для начала поднимем стаканы — расширим сосуды, и колбаски-то, колбаски... Угощайся без сомнений, теперь мы свои. Ну, вот, Гоша, к примеру, ты в Болгарию собрался, так? И конечно, все понимают, что у тебя намерения чистые, что не на встречу с какими-нибудь немцами или, что еще хуже, вернее, совсем уже плохо, не с американцами встречаться ты едешь, так? А вот про Гизатуллина ты такое же мог бы сказать?

— Почему? — спрашиваю я, ничего не понимая.

— Ох, Гоша, Гоша, — качает головой Женя Гжатский. — Ну, вот, скажи — чист Спартак?

— Да конечно же чист, уж чище его и не найдешь, хрустальный парень и специалист высшего класса.

— А советский ли человек? — по-ленински прищурился Женя Гжатский.

В этот момент я почему-то так и увидел его как бы наводящим пулемет на стихийную демонстрацию рабочих Завода малолитражных автомобилей им. Ленинского комсомола, где, между прочим, еще недавно работал мастером в моторном цехе предмет нашей беседы, мой бывший друг Спар-тачок Гизатуллин, ныне справедливо презирующий меня за моральную неразборчивость в смысле деятелей искусства. Вижу сначала панораму, потом на среднем плане Женин прищур, потом крупешник, крупешник, крупешник... голова закружилась.

— Очень даже советский человек, — сказал я. — Во многом настоящий советский человек. Не уступит никому, а некоторых... — тут мне не удалось сдержать горькой улыбки, — а некоторых еще и поучит.

— Вот и хорошо, — сказал Женя Гжатский, — вот и надо помочь парню. Вот, если ляпнет где чего Спартак про советскую власть или заговорит, к примеру, со слов иностранного радио, вот тут ты, Гоша, и не растеряйся, запоминай.

— Зачем это? — удивился я.

— Ну как зачем? — удивился он. — Мне расскажешь.

— А тебе-то зачем? — удивился я. — Разве своей головы на плечах нет?

— Ну, ты чудак! — удивился Женя Гжатский. — Это же социология.

— А при чем тут Спартак? — удивился я.

— А мы с тобой при чем? — удивился он.

— Может, ты прояснишь, Женя?

— Конечно, можно прояснить, почему же нет.

— Так чего тебе Спартак-то Гизатуллин?

— Помочь надо человеку, может запутаться. Сечешь? Ведь ты же подписку-то, Гоша, давал, а у нас такой девиз — помогать надо людям в трудную минуту.

— А у кого это «у нас», Женя? Может быть, ты меня просветишь, как это называется?

— Ну, у чекистов, колбаса ты эдакая. Ну, и у тех, кто с нами, вот как и ты, Игорь Иванович, нелегкий ты человек.

— Вот так так! Так ты чекист, Женя?! И давно?

— А что же ты думал, Гоша? Сейчас все концентрированные парни идут в Чека, время такое. Поэтому я и тебя поздравляю, правильную дорогу избрал.

— То есть как это?

— А так это.

— Я что-то, Женя, не вполне.

— Слушай, Гоша, может, ты в лечении нуждаешься?

— Женя, пожалуйста, больше мне не наливай. Я не нуждаюсь выпить, а я, прости, что дрожу, нуждаюсь объяснить.

— А подпись-то, товарищ Велосипедов, давали? Заявление о сотрудничестве с органами — дело нешуточное, уж раз подписался, значит, сохраняй серьезность, даже и у нас, Гоша, есть люди, которые юмора не понимают, и с дезертирами...

Охваченный страхом, полностью теряю самоконтроль, пальцы переплетаются в судорожном зажиме, кричу благим матом:

— Не надо! Не надо! Какой же я чекист? Отдайте бумагу, товарищ Гжатский! Я думал, в кружок подводного плавания записываюсь, на карате, в ДОСААФ, прошу, верните, какой вам толк в таких, как я...

— Ты целку-то из себя не ставь! — сказал тут кто-то в пространстве «России» совсем другим, не Жениным голосом, до чрезвычайности густым и устрашающим.

Я даже оглянулся, кто говорит, но все было неизменно в комнате и неподвижно в окне, за рекой.

— Слышал? — сказал Женя Гжатский. — Ты целку-то из себя не ставь! Кажется, убедился, что здесь все в порядке по части мужских качеств. — И он почему-то похлопал себя ладонью по одному месту, но совсем не там, где жгли.

Дальнейшее мое поведение необъяснимо и непростительно. Так, конечно, воспитанные люди себя не ведут, особенно если их малознакомый товарищ приглашает в гостиницу на угощение.

Прыжком, возможно очень безобразным, я бросился на Женю «дипломат» с целью вырвать из него так называемое соглашение о сотрудничестве, а на деле просто жалкий листок бумаги с дурацким чернильным знаком, нанесенным моею рукою.

Чем объяснить невероятный по силе смерч возмущения, бушевавший во мне? Мне казалось, что надо мной учинено какое-то насилие, как будто и в самом деле кто-то хочет меня лишиться чего-то нежного и неприкасаемого, точно не могу определить, хотя и подворачивается слово «целка», произнесенное тем жутким голосом, и вот я трепещу и прыгаю безобразными прыжками, словно от этой жалкой бумажонки зависит вся моя дальнейшая жизнь, и не какие-нибудь там жизненные успехи, а просто, так сказать, ее содержание, все содержание жизни, хотя ведь если объективно разобраться, то ведь понимаешь, что не прав, капитально не прав, ведь органы государственной безопасности столько сделали благородных заслуг, за исключением некоторых грубых ошибок.

Женя Гжатский встретил мой похабнейший прыжок отлично проведенным приемом самообороны без оружия, и вот я лежу в коридоре.

— Я бы на твоём месте хорошенько обо всем подумал, — говорит Женя, стоя надо мной, и добавляет: — Руководству ты не понравился, Фриц Кавказский.

Засим круто поворачивается и уходит в свой № 555. Дверь захлопывается, и сразу же там включается телевизор. Страшный шум — трансляция с Центрального стадиона имени Ленина, матч на Кубок европейских чемпионов.

С трудом, шаг за шагом, с падениями и отдыхом на полу, все-таки поднимаюсь. Вот в самом деле подходящий случай, чтобы оценить настоящий профессионализм наших передовых отрядов: каких-нибудь пара зажимов да бросок через бедро с последующим ударом в надкостницу, а ведь жертве кажется, что целый взвод целый час душу выбивал. Все болит, все

ноет, жжет, сосет, и к этому еще прибавляется вполне понятное чувство исторической обреченности.

Слышится панический женский крик:

— Хулиган в «Интуристе»! Пьяный! Вызывайте милицию!

Это, конечно, в мой адрес. Пытаюсь бежать — тщетно, капитуляция ног. Пытаюсь обратиться за помощью к прохожим в коридоре, увы, никакого понимания — все вокруг иноязычное, чуждое, быстро и с опаской идущее мимо.

И вот уже в глубине коридора, на фоне окна, отбрасывая километровой длины тень, появляется фигура милиционера. Итак, все ясно — мрачайший период в жизни Игоря Велосипедова продолжается, и снова грозит мне пятнадцатисуточная неволя, и вряд ли теперь уже меня спасет любитель четвертных билетов майор Орландо.

Хороший, ничего не скажешь, будет новый вклад в мое так называемое личное дело! Как-то, помню, мои бывшие друзья Валюта Стюрин и Ванюша Шишленко философствовали по буддизму. У человека, оказывается, имеются как бы три тела — физическое, то есть сосуд или, можно сказать, колесница, астральное второе тело, с невидимым контуром космической энергии, и третье тело, самое высшее — душа. Однако, хотелось мне тогда добавить к размышлениям умной молодежи, к этим трем человеческим теслам, можно сказать, в процессе жизни добавляется и четвертое тело, которое не от Бога, его бумажное государственное тело, так хотелось мне добавить, но я постеснялся этой умной, вечно полупьяной молодежи.

Милиционер приближался. Сейчас он задержит меня и составит протокол задержания. Я безропотно ждал.

И вдруг — свет в конце тоннеля! В противоположном отдалении коридора, в световом овале, появляется и стремительно вырастает величественная женская фигура. Да уж неслучайная ли это знакомая по имени Ханук, председатель Комитета Советских Женщин при Совете Министров Армянской ССР? Она!

— Отпустите товарища! Он — ко мне!

И на плечо мое ложится ее премилая рука. Тут спрашивает милиционер с карандашом:

— А вы кто будете, гражданочка? Просто для справки? Тогда нежнейшая Ханук переходит вдруг на колхозный бас:

— Пажалста, дарагой, паынтэрэсуйся! Милиционер с открытой пастью глядит в красную книжечку. Ритуал взятия под козырек.

— Забирайте товарища пьяного, если он вам так нужен. Она влечет меня по пятому этажу в некоторое близкое будущее, влечет стремительно и нежно, словно хоровод баядерок, а за нами, как за винтом корабля, в завихрениях исчезают мерзости близкого прошлого, включая и злобещий № 555, где со мной произошло сегодня нечто неподдающееся пониманию.

И вот мы в ее апартамента-люкс. Она прижимает меня к стене, срывает с меня одежды, от страсти руки ее дрожат она рвет мои пуговицы...

...Велосипедов, противный, где же ты был, сумасшедший, я — проездом, из Еревана в Бейрут, у меня только лишь одна ночь, бесконечно тебе звоню, а тебя нет, готова была уже на любого милиционера наброситься, вдруг ты лежишь на полу...

...рвет мою «молнию» в центре туалета, ранит себе «молнией» свой очаровательный мизинец, царапина, сует мне сосать, сосет сама... все завихряется в неуклюжих фигурах раздевания, пока в результате вдруг не возникает греческая позиция восторга.

Ах, как жалко, дорогая Ханук, что вы не можете связать свою жизнь с моей, что вы — птица не моего полета, что вы обременены, по вашим словам, идеальной советской семьей с детьми-вундеркиндами и мужем, генералом КГБ!

Я, между прочим, и сама полковник КГБ, говорит она нежнейшим шепотом через собственную подмышку. Это вас не смущает?

О нет, милейшая Ханук, о нет! В данный момент у вас своя позиция, а у меня моя, и посмотрите, как все гармонично, о, как гармонично, так гармонично, гармонично, гармонично соединяется.

## Эфир, Дом Зевса

Саша Калашников никогда не жаловался на легкий ревматизм, несколько сковывавший его прыжки и батманы. По сути дела, недуг этот играл, пожалуй, благую роль в его балетной карьере: не будь ревматизма, знаменитые калашниковские прыжки стали бы чересчур знаменитыми, могли бы даже принять характер чего-то надреального, то есть могли бы

нарушить реалистические традиции отечественной хореографии. Вот сегодня, например, суставы почему-то совсем не ныли, ну, и забылся Саша, заскакал вне традиций, нереалистически, зависая иногда в воздухе с явным преувеличением и мелким перебором ног позволяя себе еще и еще набирать высоту, в то время как вроде бы давно уже пора опускаться.

Публика уже и писать кипятком устала, уже и не вопила даже а только лишь тихо стонала в ошеломлении — семейный советский балет на глазах превращался в чуждое и желанное, в авангардно-буржуазный модернизм.

«Ой, сбежит, — с определенной тоской думал, наблюдая калашниковские прыжки, секретарь парткома Большого театра тов. Малый, по номенклатуре приравненный к секретарям гигантских московских райкомов. — Потенциальный невозвращенец этот Сашка проклятый, хоть и секретарь нашей комсомольской организации. Да и как не сбежать с такими прыжками, выше уровня мировых стандартов?! Что он у нас имеет, и что он там будет иметь! Я бы и сам сбежал, если бы там кому-нибудь нужен был секретарь партийной организации оперно-балетного театра».

После спектакля Саша Калашников, сидя в гримуборной, читал «Поднятую целину». Немало усилий он прилагал ежедневно, чтобы доказать даже и не полнейшую благонадежность, а самый настоящий животворный советский патриотизм, и все-таки всякий раз, как отпускал ревматизм и прыгучесть выходила из-под контроля, весь театр смотрел подозрительно — не может быть, чтобы Сашка не подорвал на ближайших же гастролях.

Да ведь это же не что иное, как просто вы-тал-кива-ние, сокрушался Саша и жаловался какому-нибудь своему товарищу, а товарищ, не обязательно даже и стукач, а просто самый обыкновенный дружок, сочувственно кивал и спрашивал: а ты, Саша, и в самом деле не «намылился» еще?

Да как же можно без родины-то?! Саша горячо начинал осуждать всех балетных беглецов — вот увидите, без родины их талант засохнет, вот увидите, окажутся пустоцветы, да как же можно русскому-то человеку жить без этого, без великого нашего правдивого, могучего и свободного, без поля Бородинского, без снежных просторов, где пращурь с соколами охотились, где кони Клодта бились... чьи кони?., что делали?., да-да, не поймаете, кони нашего барона Клодта бились и застыли в бронзе над исторической Фонтанкой, как же можно без этого?

Не горячись, Саша, не пережимай, говорили ему друзья, улыбаясь. И Саша прямо в отчаяние приходил — чем доказать, что искренне люблю родную землю? Прямо хоть в партию вступай, и вступил. Активность коммунистического сознания развил в себе артист до самой высшей степени. Даже анекдотов о Василии Ивановиче Чапаеве и ординарце Петьке чурался, даже Шолохова начал по второму разу читать заучивал Евтушенко, и все тщетно — не верил ему народ.

Невеселое из-за этого возникает настроение, думал артист, сидя в гримуборной после спектакля, не способствует это творчеству, ей-ей, не способствует.

Вдруг послышалось:

— Сашенька, дорогой!

В гримуборной без стука появились две мымыры на одно лицо, а за ними двигалась какая-то бледная тень, спирохетоподобный молодой человек.

Вот, подумал Калашников, разве там к звезде моей величины могли бы так, без стука? Уж не менее трех телохранителей, наверное, ходят постоянно за Рудиком Нуриевым, не менее того.

Подумав в этом направлении, комсорг Большого театра, конечно, устыдился своих мыслей и вскочил навстречу вошедшим с протянутой рукой:

— Здравствуйте, товарищи!

Как вдруг:

— Ну, Саша дорогой, заслужил, заслужил ты сегодня хорошего поцелуя, — сказала одна из мымыр, головная, и без всякой подготовки жесткими скукоженными губами впилась в нежную щеку артиста.

— А я вот не осмелюсь так запросто гения в щеку, — сказала вторая мымыра, на первый взгляд вроде бы точно такая же, но на второй взгляд много приятнее, почти терпимая, едва ли не привлекательная. — Какой вы, Саша, гений, поистине гений! Вы сегодня просто покорили весь зал, а лично моя душа витала в небесах!

Как— то не по-нашему говорит, с опаской подумал Калашников, уж не оттуда ли?

— А вот этого не нужно! — строго поправила первая мырма вторую. — В захваливании, в культе личности Саша Калашников не нуждается. Саша Калашников — способный, думающий, идейный артист, творчество его развивает советские реалистические традиции, а что касается сегодняшнего вечера то, знаешь ли, Саша, здесь тебе нужно все-таки спросить самого себя — не слишком ли? Просто положи руку на сердце — не высоковато ли?

Ба, да это же Аделаида из райкома партии, которая мне ил-кооператив пробивала, а это с ней сестра ее однойцевая, вспомнил наконец артист и подпрыгнул уже с распростертыми:

— Адочка! Права, права, как всегда, права! Сегодня немножко не в ту степь, чувство меры слегка изменило, есть, есть грешок!

Аделаида, которая до этого слегка побаивалась — вдруг не узнает, теперь с торжеством взглянула на Агриппину. Вот так, мол, к нам прислушиваются!

Агриппина же совсем зашла от благоговения, вот только мелкая вороватая идейка мелькала — какую бы ниточку, ленточку, тряпочку унести на память?

Затем русскому гению был представлен скромный молодой человек Игорь Велосипедов, вот, может быть, интересно будет подружиться для взаимной пользы.

Какая же это польза, подумал Саша. Ну, ему, это понятно, эстетическое удовольствие, а мне-то в чем взаимность?

— А вы что же, критик будете, журналист? Велосипедов тут вздохнул:

— Нет, нет...

Почесывая затылок, он смотрел на артиста без всякого, так сказать, пиетета, а просто как на персону, близкую по возрасту.

— Нет, нет, я просто инженер, автомобильный ученый...

— Думающий! — шепнула с диссидентским подмигом Агриппина Евлампиевна.

Сашу тут осенило — и в самом деле может быть взаимная польза!

— Вот вы бы подсказали, старик, отчего у меня «Волга» на холостых оборотах глохнет, смогли бы?

— Думаю, смог бы, — серьезно кивнул Игорь Велосипедов. — Можно посмотреть. Думаю, старик, это не проблема.

— Игорь сейчас на перепутье, — доверительно, как своему, зашептала Аделаида Евлампиевна Калашникову таким специфическим прогорклым полупшепотом, доступным, собственно говоря, каждому уху в комнате, но говорящим все-таки о партийном интиме между ней и Сашей. — Очень важен авторитет такого большого художника, как ты. Твое цельное мировоззрение... такие вещи сейчас на вес золота... Ну, вот, хотя бы вижу у тебя хорошую книгу; можно, скажем, с творчества Михаила Александровича и начать.

— Вот с этого и начнем, — весело согласился Саша Калашников, взял автомобильные ключи, и все направились выходу.

По дороге как раз о творчестве Шолохова и говорили. Саша Калашников вспоминал, какое сокрушительное впечатление на него в детстве произвел «Тихий Дон». Он тогда, можете себе представить, занимался в детской боксерской секции спортивного общества «Крылья Советов», работал в весе «мухи» и развивал удар левой. И вот, читая роман, с восхищением обнаружил, что Григорий-то Мелехов как раз был левшой! Отец его Пантелей очень огорчился, обнаружив у мальчика левизну, и всячески старался развить у него правую, требовал, чтобы мальчик рубил справа. Ну, в общем, Гриша Мелехов очень хорошо развил свою правую, мог рубить и слева и справа, однако в решительные моменты всегда шашку перекладывал налево. Вся секция бокса тогда была глубоко увлечена этим обстоятельством, и многие завидовали герою эпопеи: вот сколько приходится работать над левой стойкой, а Грише Мелехову это было дано с рождения.

Все это Саша Калашников, конечно, рассказывал с улыбкой и добавлял, разумеется, что сейчас в зрелом возрасте молодости ему открылись шолоховские философские глубины, хотя, вообразите, и до сих пор левая стойка как бы остается пищей для размышления, потому что у него сейчас получилась такая ситуация — левая нога толчковая, естественно, на ней развивается мускулатура, особенно икроножная мышца, которая порой выпирает через трико, вот и приходится работать над правой ногой, чтобы добиться симметрии, ведь в симметрии, между прочим, кроется определенный принцип реализма. Согласны, товарищи?

Конечно, все согласились, а что касается философских глубин «Тихого Дона», вставила Агриппина Евлампиевна, то вот недавно открылась еще одна: оказывается, Михаил Александрович не сам писал, а как бы только лишь обрабатывал уже готовую книгу боевого

офицера полковника Крюкова, это вот такое было недавно сделано исследование одним из... ну, в общем, одним из авторов!

Когда они вышли из служебного подъезда Большого театра, Москва в окрестностях была пуста. Лишь на стоянке такси у подножия монумента драматургу Островскому шумела пьяная очередь. Вполнакала светились высокие фонари. В отдалении под луной вырисовывались мелкие башенки гостиницы «Метрополь» и зубчики стены Китай-города. В центре композиции на широкой голове Карла Маркса, как обычно, сидела пара голубей, превращая эту недюжинную голову в подобие боевого шлема германского пса-рыцаря, нашедшего себе погибель на льду Чудского озера под ударами русских дружин, уже тогда близких к стихийному марксизму. Ближе к месту действия, то есть к паркингу Большого театра, стоял полуразрушенный питьевой автомат, из него скудной лужицей истекал на асфальт малиновый сироп.

Сестры попрощались с молодыми людьми и направились к метро «Площадь Свердлова». Перед входом они еще раз оглянулись. Молодые люди уже стояли возле белой «Волги», один такой худой-худой, страдающий внутренним распутием Игорь Велосипедов, и второй маленький крепыш — звезда Саша Калашников.

— И все-таки что-то есть в мальчиках общее, — проговорила Аделаида Евлампиевна и выразила надежду, что Саша окажет на Игорешу большое положительное влияние. Ведь бывают же совершенно неожиданные симбиозы. Вот ты сама, Гриппочка, привела сегодня удивительный факт содружества великого писателя с красным офицером.

— Ах, Адочка, — вздохнула Агриппина, — мне не хочется тебя огорчать, но полковник Крюков был белым.

— Ты меня убиваешь, Гриппа, — густо произнесла Аделаида и прислонилась лицом к мраморной стене станции «Площадь Свердлова».

Агриппина, переполошившись, обняла ее за плечи, заглянула внутрь и обнаружила, что сестрица плачет сладкими-пресладкими слезами.

Между тем Велосипедов, обследуя машину артиста, вдохновенно прыгал от капота к щитку приборов, вдохновенно подныривал, заглядывал, нажимал, с головой уходил в дебри механизма. И вот вынес заключение:

— Бензосистема забита какой-то дрянью. Наверное, Саша, вы залили себе в бак загрязненное топливо или же где-нибудь со дна набирали. Никогда, Саша, со дна не набирайте, ведь повсюду жутье заседает, оно в емкости добавляет всякие сливы, а те на дно оседают. В общем, нужно бензин этот сжигать до последней капли, а систему продувать эфиром.

— Так сделайте же это, дружище, я вам буду благодарен, — сказал Калашников.

— Да что вы, Саша, да я просто по-товарищески это вам сделаю. Я под таким, знаете ли, огромным впечатлением от вашего танца.

Отправились за эфиром в аптеку (бывшая) Ферейна. По дороге, возле памятника Первопечатнику, конечно, пристала к ним пара педов:

— Алло, мальчики, вас двое и нас двое! Аида похулиганим!

Саша Калашников всегда в таких случаях борзел по-страшному. Не было такого педа ни дома, ни за границей, который, завидев Сашино румяное личико и попку с ягодичками, не вообразил бы себя его партнером. А между тем балетный наш был совсем по другому цеху, очень увлекался девушками, обязательно высокими, с медлительными нежными движениями, их он любил сладко мучить в абсолютно подавляющем стиле. А вот когда кто-нибудь смотрел на него так же, как он на своих девушек, тогда Саша по-страшному просто борзел и даже защищался нападением, спасибо боксерскому прошлому.

Словом, могла бы тут начаться настоящая потасовка, если бы Велосипедов не сказал этим двум кадрам, явно приезжим провинциалам, что в Москве всеми мерами защищается право прохожих граждан на самостоятельную прогулку, город режимный, много иностранцев, вы что, не понимаете?

Целки, наверное, догадались педы, пошли, Володя, на целок, видно, мы с тобой нарвались, давай тикай!

В общем, принесли молодые люди бутылку жидкого эфира и пару сифонных клизм, развинтили патрубки в бензосистеме и давай ее продувать путем накачивания летучей жидкости.

Объем работы, как выразился Велосипедов, был немалый. Шли часы, Москва пустела все больше, лишь кое-где порой раздавались дикие вопли, немедленно пресекаемые милицией. Велосипедов, как выяснилось, и в самом деле оказался ученым, блестяще знал внутренности самодвижущихся аппаратов, и Саша Калашников, не отличавший карбюратора от акселератора, конечно, без особого труда догадался, что судьба принесла ему в этот вечер хорошего полезного друга.

Когда работа была окончена, стояла глухая ночь, озаренная луной. При пересчете колонн Большого театра можно было убедиться, что их восемь.

Усталые молодые люди присели на капот проэфиренной автомашины. Хотелось курить, но, увы, сигареты вызывают возгорание опасных газов, пришлось воздержаться. Они сидели на капоте, вдыхали пары эфира и преисполнялись возвышенным настроением.

— Спасибо тебе, искусный мастер, — сказал Калашников, кладя руку на плечо Велосипеда. — Следил я за работой рук твоих. Вот Божье благословение, освобожденное нашей, конечно, революцией, — искусная человеческая рука!

— Руки мои бледнеют перед ногами твоими, великий артист, — так отвечивал Велосипедов, обнимая балетного за талию и заглядывая ему глубоко в поблескивающие, как Средиземное море, глаза. — С благоговением я постигал откровения пламенных танцев. Вместе с золотой песней слетело на землю древнее дело твое!

Он вздохнул.

— Если бы нам, Сашок, подойти к берегам человеческой сути, если бы оставить за кормой нагромождения бумажного фальшивого мира, пожирающего наши древние леса... Хотелось бы тебе уйти к истокам своей телесной и духовной сути?

— Самтаймз, — ответил Калашников почему-то по-английски. — Но не посещает ли тебя временами, Игореша, мысль о незримой гармонии? Быть может, и шуршащие бумажные вихри в той же степени, что и порождающие их леса, несут нас в сторону нашей сути, ведь именно по бумажным путям перелетают от человека к человеку идеи свободы, равенства, братства, вспомни хотя бы «Коммунистический манифест», вдохновивший огромное количество пролетариата. Ты понимаешь меня, искусный мастер?

— Самтаймз, искусный артист, — прошептал Велосипедов. Они смотрели друг другу в глаза, их идеи взаимно влияли друг на друга, и в этот момент им казалось, что вот разомкнулась ловушка времени и вокруг простирается огромное пространство летящего мига.

— Эй, мужики, — обратились к ним два проходящих ханыги. — Стакана не найдется?

Велосипедов с Калашниковым их даже и не заметили.

— Вот ведь как заторчали мужики, — с уважением сказали о них ханыги.

Велосипедов и Калашников покачивались в восхитительных волнах эфирной эйфории, а между тем с их маленьким эфиром соединялся другой большой эфир, в котором в этот час, как и в любой другой, неслышно пролетали вкрадчивые враги мирового марксизма, короткие волны.

## Исторический Пункт

В те времена никто не знал, где работает Л.И.Брежнев, где помещается его главный кабинет — в Кремле, или, собственно говоря, под землей, или, почему бы и нет, в башне какой-нибудь. Вполне могло оказаться, например, что рабочий кабинет Генерального Секретаря нашей Партии помещается в Спасской башне Кремля.

Конечно, вид у этой башни нежилой, но ведь это только внешний вид, и только можно вообразить себе, какой там уют можно устроить при современном развитии техники. В общем, надеюсь, что никто не будет возражать, если мы разместим «командную рубку» страны в этой исторической башне под историческими часами, этими неоднократно воспетыми Кремлевскими курантами.

Как любое помещение, так и это обладало своими плюсами и минусами: конечно, когда у тебя над головой каждый час начинает бить проклятый неломаящийся механизм, тут даже враг тебе посочувствует, кроме разве что товарищей Дубчека и Мао Цзэдуна, но, с другой стороны, отсюда через щелочку в шторе можно смотреть на передвижение подопечного населения, покупателей ГУМа, и радоваться их бодрому хлопотливому виду, их неплохому среднему внешнему облику, штиблеты на ногах, головные уборы на головах, на плечах польта, все врут на Западе, никто не голодает. Ну, а главное преимущество башенного расположения,

конечно же, восхитительная секретность: ведь никому в голову не придет, что главный человек страны сидит в главной ее башне.

В то утро Брежнев читал письмо Велосипедова. Писали ему мало, видимо, потому, что считалось это бесполезным делом — все равно не дойдет, и поэтому генсек интересовался, по сути дела, всеми письмами, обращенными лично к нему, и только слегка досадовал, почему его всегда называют «уважаемым».

Попробовали бы Сталина назвать «уважаемым», иначе как «дорогой» отец народов и не мыслился. Даже Никитка и то предполагался «дорогим», а не «уважаемым»; а вот ко мне, понимаете ли, обращаются, как будто к директору завода, несмотря на то, что я так идеологию укрепил, почти Никиткой разваленную, да и вообще всю страну тащу на своих плечах плюс мировое революционное движение.

Некоторые корреспонденты, кажется, понимали, что «уважаемый» — слово недостаточное, но вместо того, чтобы просто написать «дорогой», употребляли совсем уже паршивое «многоуважаемый», что, конечно, еще хуже, чем просто «уважаемый», таким веет от него формализмом, пустой вежливостью, никак не выражает это любви народа.

Ну, а подпись? «Искренне Ваш», ну, это уж просто на грани наглости! Кажется, не вполне понимают люди, в какой адрес обращаются. «Искренне Ваш» — понимаете ли. Неужели же в голову не приходит скромно выразить в конце письма «хотовность» к самопожертвованию ради Партии, Родины, там, ну, некоторое чувство к тем... ну, кто все-таки эти святыни нынче уоплощает...

И еще чего-то не хватает! Брежнев морщился, никак не мог вникнуть в содержание, чего-то еще не хватало письму Велосипедова, кроме, ну, вот того, о чем упомянуто выше. С этим беспокойством генсек обратился к своему помощнику Александрову-Агентову, сидевшему в жестком кресле напротив.

— Читал, Андрей Михайлович? Не кажется тебе, что еще тут чего-то не хватает?

— Существительных, Леонид Ильич, — по-деловому ответил Александров-Агентов. Он, конечно, понимал, что волнует хозяина, что означает это «еще чего-то», однако полагал эти письма Велосипедова вопросом не первой важности в свете мировых событий. Все-таки дал немедленную и толковую справку: — В прошлом письме товарища Велосипедова недоставало глаголов, то есть сказуемых, здесь, Леонид Ильич, существенная нехватка подлежащих.

Брежнев, крикнув, прочистил языком полость рта (личного помощника можно не стесняться) и, чмокнув, обвел глазами этот скромный кабинет «архитектора разрядки», то есть себя лично, и подумал: а все ж таки будет и сюда, в эту башню, паломничество, как и в комнату Ленина, как в Оружейную палату. Затем хлопнул ладонью по велосипедовскому письму, снял очки и заговорил задушевно.

Александров-Агентов, прозванный за границей «советский Киссинджер», очень этой задушевности у генсека не любил, оборачивалась она всегда каким-то ляпом, однако внимал, потому что за это и зарплату получал.

— Вот, понимаешь, Андрей Михайлович, — говорил Брежнев, — вот читаешь такое вот письмо и думаешь — а ведь неплохой, видать, хлопец. Хлянь, и заботы человечества ему не чужды и хехемонизму Мао знает цену. А вот и о Партии нашей сказаны неплохие слова, и лучший талантливейший поэт нашей социалистической эпохи к месту упомянут. Хлянь, Андрей Михайлович, есть и философия, вот насчет фальшивой реальности рассуждает товарищ. И все ж таки обидно, когда такие харные хлопцы не понимают всех аспектов нашей политики. Может, им плохо объяснили?

Ну вот, хлянь, проблема крымских татар. Как же мы их можем вернуть в Крым, если они хай на весь мир подняли? Вот калмыки не орали и вернулись, также и прочие нации. Зачем же так орать на весь мир, вынуждать нашу Партию проявлять твердость? Я вас, товарищ Велосипедов, спрашиваю — зачем? И ручаюсь, что вы мне на этот вопрос не ответите.

Свободу Хинзбургу-Халанскову... Что же, товарищ Велосипедов, получается — суд осудил, а мы освобождать будем преступника, против советского суда пойдем, против нашей Конституции? Неэтично. Увы, бывает так, что чаша народного терпения переполняется, тут даже руководители ничего не могут сделать. А вам бы, товарищ Велосипедов, я бы посоветовал быть более ответственным, когда требуете отмены судебных приговоров, не безупречная это личность Халансков-Хинзбург.

Ну вот, конечно, и вторая парочка, баран да ярочка, Солженицын — Сахаров. Эх, товарищ Велосипедов, знал бы ты, дорохой, сколько бессонных ночей провели члены Политбюро, думая о недостойном поведении этих лауреатов. Немало ведь принесли пользы обществу в

прошлом и тот и друхой. Один внес вклад в оборону отчизны, второй математику в школе преподавал. Разве мы этого не ценим? А знал бы ты, Игорь Иванович, что подорвали эти деятели наши идеологические позиции, как нахарили они нашим западным товарищам, ведь буквально корзинами с собраний выносили брошенные партбилеты. Хорошо, что у нас-то народ посознательней и дал такой всеобщий отпор отщепенцам.

А вот дальше, Андрей Михайлович, товарищ Велосипедов поднимает вопрос о выводе советских войск из Чехословакии. Это что же получается — человек учится в нашей советской школе, кончает наш вуз, работает в лаборатории, а выходит, никто не удосужился его ознакомить с самым доро-хим для нас, для трудового народа, с принципами интернационализма? Ей-ей, придется самому взяться за дело, а вот и соберу хрупку таких товарищей, похворю с ними, постараюсь открыть им хлаза, а то они, видно, нашим хазетам не верят.

Ведь эдак-то и до прямой клеветы можно докатиться. Видишь, про психиатрию подхватил, явно по коротким волнам.

Наша, наша это вина, Андрей Михайлович, упускаем Велосипеда.

А вот по этому пункту я бы поаплодировал активности Ихоря, правильно поднимает вопрос о свободе слова, печати и собраний. В этом направлении, Андрей Михайлович, нам еще много предстоит поработать. Чего греха таить, хоть и превосходим мы все другие демократии, а все-таки далеки еще от совершенства, надо продвигаться вперед, Велосипедов прав.

А вот посмотри, Андрей Михайлович, с каким искренним чувством утверждает товарищ Велосипедов единство и руководящую роль Партии. Все-таки чувствуется человек, воспитанный нашей системой, не какой-нибудь друхой. Ну, а насчет фальсификации выборов в Верховный Совет — сих-нал своевременный. Надо прислушаться. Я лично на свой избирательный округ могу положиться, а вот неплохо было бы проверить статистику в округе Шелепина Александра Николаевича. В общем... в общем... в общем, Андрей Михайлович...

Возникла пауза. Брежнев ждал от помощника помощи, но тот всем своим видом показывал, что в это дело он не полезет, что более важного всякого на повестке дня вагон и маленькая тележка, так что извольте, товарищ Леонид Ильич, без меня натешьтесь своей блажью, письмом Велосипеда, инженера Моторной лаборатории Министерства автомобильной промышленности, 1943 года рождения, проживающего по Планетной улице во Фрунзенском районе, где у нас секретарем по идеологии перспективный товарищ Фелаяев.

Александров-Агентов третьего дня был весьма удивлен, когда после запроса выяснилось, что в «вооруженном отряде нашей партии» собирается на инженера Велосипеда активное досье. Если уж этот инженеришке, очевиднейший болван и политический архипростофиля, сумел обзавестись таким впечатляющим досье, такими туманными записями и сомнительными комментариями этого капитана Гжатского, то можно только себе представить, какое у них накоплено досье на меня, «советского Киссинджера».

Ээ, таких бы хлопцев нам в ЦК Комсомола, думал между тем Брежнев лукавую свою думу. Вот неуспокоенность такая ощущается, порыв такой какой-то, ищущест, что ли... Легче бы работалось товарищу Тяжельникову, в целом.

Однако как же ж с письмом-то поступим, ведь зарегистрировано ж. Ведь если поставлю, как полагается, «разобраться», несдобровать тогда уважаемому товарищу Велосипедову, сгноят харного хлопца. Нет-нет, Леонид, тут надо проявить индивидуальный подход.

— Ну, в общем, — вслух подумал он и вопросительно посмотрел на помощника.

— Вот последняя сводка. — Александров извлек из своего портфеля названное, длиннейший рулон плотно скатанной бумаги. — Садат вчера встречался с двумя американскими дипломатами Дерковицем и Винокуром, тайно, на Асуане.

— Ох, Садат, Садат, — закричал от старой болячки Генеральный. — Ох, допрыгается этот Анвар Садат...

Помощник продолжал огорчать:

— Вот к тому же, Леонид Ильич, от нашего человечка, близкого к... ну, к тому, кого называют «американским Александровым-Агентовым», — широчайшая, хотя и закрытым ртом улыбка исказила небольшое лицо специалиста, — ну, вот... стало известно, что возможно невероятное — мирные переговоры Израиля и Египта.

— Ыхыпта? — потрясенный генсек стал вздыматься из кресел. — Да ведь это же всю нашу... всю ее к этим... да ведь надо же ж срочно... стратехическую оперативку... усех науерх!

— Стратегическая группа уже собрана, Леонид Ильич, — сказал помощник. — Товарищи ждут вас. Как всегда, под курантами.

Уже в стоячей позиции Брежнев подтянул письмишко Велосипедова и написал в левом верхнем углу свое заветное «разобраться». Прости, дорогой уважаемый многоуважаемый товарищ, не до тебя — Ближний Восток из-под носа уплывает. Искренне ваш — Л.Б.

Поднимаясь впереди Александрова по узкой сырой лестнице в комнату под курантами, он остановился на площадке, глянул в бойницу — народ по-прежнему бежал в ГУМ и из ГУМа — и спросил помощничка:

— А скажи, есть такое слово — «ищущность»?

— Нет такого слова, Леонид Ильич, — быстро и спокойно ответил Александров-Агентов, но внутренне содрогнулся. Надо же придумать такое жутчайшее комсомольское слово — ищущность!

Что же далее произошло в Спасской башне? До стратегических высот нам, конечно, не добраться, да и никакого желания нет туда карабкаться, а вот в оставленном кабинете генсека мы еще побудем несколько минут вместе с работниками личного секретариата, которые немедленно, как и положено, появились здесь после ухода вождя.

Все, что Брежнев набросал на своем столе, было немедленно собрано до последних мелочей. Затем работники на бронированном лифте низверглись в глубокое подземелье, где, собственно говоря, и располагалось продолжение Брежнева как государственного деятеля, гигантский личный секретариат Генерального Секретаря, или, если можно так выразиться, предводителя всей бессчетной армии секретарей, мудро управляющей секретами нашей большой грубой страны.

Здесь, в подземном центре, все, что набросал за это утро на своем столе Брежнев, поступило в обработку, частично на компьютер, но больше вручную. Такой же участи, разумеется, подверглось и письмо Велосипедова с резолюцией «разобраться».

Там, конечно, работал один американский шпион, который снял копию с этого письма, как, впрочем, и с некоторых других мелочей, и вынес все это хозяйство на поверхность.

В скором времени вся куча поступила на компьютеры большого учреждения в окрестностях Вашингтона, а там, конечно, сидел шпион одного большого телеграфного агентства, который устраивал там еженедельную «утечку». Вот так, собственно говоря, сочинение Игоря Велосипедова, опус 2, размножившись в газетных публикациях, ушло в эфир, а потом легло в виде страничек так называемого «радиоперехвата» (престраннейшая и абсурдная терминология нынче используется в идеологической войне, которая и сама по себе является тяжелой чушью), легло, стало быть, на рабочий стол Жени Гжатского.

## Московский «Лабиринт»

Вдруг происходит совершенно невероятное: Спартак Гизатуллин приглашает меня на футбол. Але, говорит, совершенно случайно лишний билет в Лужники. Колышет?

— Колышет! — кричу я. — Конечно же колышет, Спартак! Еще бы не заколыхало!

И вот мы торопимся в магазин, чтобы запастись перед футболом всем необходимым, и по дороге обсуждаем, кого выставит тренер Зонин в сегодняшнем матче сборной против Югославии, потянет ли Рудаков, и как торчит Хурцилава, и с чем едят этого нового крайка Байдачного, и так далее, как в старые добрые времена, как будто и не было разрыва дружбы.

— У Байдачного ход именно быстрый, — говорю я, — но тактики не понимает, поля не видит, в общем, провинциал. Согласен, Спартак?

— А я тебя вчера слышал, — вдруг говорит Спартак. — В программе «Что пишут американские газеты о Советском Союзе».

У меня, признаюсь, некоторый развал кишечника.

— О чем ты, друг?

— Ну что ты, Гоша, твое же письмо напечатано в газете «Филадельфия инквирер», ну и по радио пошло в обратном переводе с английского. Здорово рванул, Велосипедов, поздравляю, все точки над иреками поставил, пусть теперь жэ почешут, наследники Сталина. Поздравляю, Гоша, и беру свои слова обратно. Теперь мне твоя политика понятна.

— Да какая же политика, да что ты, Спартак, да я ведь лично Леониду Ильичу, без всяких газет, даже у Агриппины не перепечатал, от руки в одном экземпляре...

Спартак обнимает меня за плечи, подмигивает, все, говорит, понимаю, и тут я вижу в очереди, почти уже у самых дверей винного магазина, один мужик в сером костюме нам машет — быстрее, быстрее, ребята! Здоровый такой мужик, усики, пробор, что-то нерусское,

вдруг вспоминаю — да это же майор милиции Орландо, тот, что освободил из несправедливого заточения, только в штатском.

— Втроем идем с майором, — пояснил Спартак. — Отличный, между прочим, мужик, жертва фашизма и испанского культа личности, младенцем сюда привезен.

Майор пояснил окружающим, что мы стояли, что он предупреждал, что занимал на троих. Кто-то из непонятливых, конечно, начинает базарить, дескать, не вы одни на футбол опаздываете, но тут ему дают понять, что непростой человек в очереди стоит, а майорского чину, мог бы и вообще не стоять, а сзади зайти. В общем, мы берем пару «Кубанской», пару «Солнцедара», и дюжину пива Шура обеспечивает персонально для майора Орландо, нет сомнения, популярный мужик.

По дороге в такси майор Орландо рассказал немного о себе:

— Я был в младенческом возрасте вывезен из горящей Барселоны, вот поэтому ненавижу тоталитаризм во всех его проявлениях. Вы понимаете, мальчики? Надеюсь, что понят правильно. Я, между прочим, Игорь, слышал вчера ваше письмо в «Программе для полуночников» и поздравляю. У нас сегодня в подразделении ребята обменивались мнениями по вашему письму, большинству нравится. Вы, надеюсь, не против милиции? Порядок надо охранять везде, говорят, что даже город Нью-Йорк нуждается в нашем советском опыте. Простите меня, Спартак и Игорь, я вот хочу сказать немного о себе, чтобы не было неясностей. К сожалению, своих родителей в Испании я не знаю, а воспитала Густаво Орландо русская женщина Капитолина Васильевна Онегина, вот почему я ненавижу колхозную систему и другие пережитки сталинизма. Нам надо вместе бороться за высокую мораль коммунистического общества. К сожалению, нам не выдают патронов, практически несем службу без боезапаса. У меня жена и двое детей, но если по-холостячки у вас завяжутся какие-нибудь милые знакомства, просьба о майоре Орландо не забывать!

Какой же это был чудесный день! Все, казалось, было создано для национальной победы и восстановления дружбы. Кучерявые облака над стадионом как будто слетели с какой-нибудь старинной гравюры, и даже подразумевались с купидончиками, с победными горнами (бедный наш город, как мало над тобой пролетает этих веселых существ), и даже, когда вдруг солнце заиграло рыжим огнем, почудилась мне в небе Фенькина мордашка, сморщенная в приступе катастрофического юмора.

Давай, бей! Вперед, резче! Давай, давай, давай! — все рты вокруг были открыты в одном, общенациональном порыве — давай!

Если бы всей этой массе людей раздать оружие, какие бы получились восхитительные повстанческие кадры!

В перерыве, уже при счете 2:0 в нашу пользу, майор Орландо раскрылся еще одной стороной своего дарования — стал изображать тромбон и прогудел в хорошем стиле несколько вещей из джазовой классики ко всеобщему восторгу окружающих.

А когда Валера Банишевский провел третий гол в ворота югославского противника, а Коля Рудаков, наш славный герой, отразил одиннадцатиметровый, на трибунах началось братание и хоровое исполнение «Варяга». Повсеместно выражалась такая основная мысль — во, дали!

Болельщики хохотали, подпрыгивали, обнимались и даже делились «Солнцедаром» — во, дали, мужики!

Один клиент, рядов на десять выше нас, оказывается, прошляпил исторический пенальти — водку делил, сосредоточился — и вот теперь требовал повтора, матом апеллировал в пространство, как будто кто-то его обманул за его же рупь сорок. Вокруг ему популярно объясняли, что это здесь не телевизор, а живой футбол и обратно за те же деньги ни югославский бомбардир, ни тем более Коля Рудаков не будут корячиться.

Мужик, однако, продолжал базарить, кричал, что обязательно будет повтор, иначе какой же футбол без повтора, а в это время наша героическая защита мощно играла на отбой, и особенно отличался грузинский конь Муртаз Хурцилава, а «юги» заметно уже скисли, уже не отыграешься, время идет, и историческая победа приближается; тут кто-то вопящего клиента пихнул вниз, чтобы не думал, что от стекольщика родился, ну и покатился хмырь по головам вниз — все хохочут — пока не рухнул на колени майору Орландо, где сразу же и заснул под финальный удар гонга.

Майор Орландо, или, как мы уже его запросто называли, Густавчик, заботливо подложил спящему под щеку пачку газет, а в карман плаща сунул бутылку «Кубани», где еще оставалось не менее ста десяти граммов напитка.

— Это наш клиент, — объяснил он. — Я лично знаю его в лицо. Когда после матча здесь соберут бутылки, он проспится и будет иметь чем привести себя в порядок.

Ну вот, а говорят еще порой о зверствах органов милиции, когда налицо такая человечность.

Все вокруг, весь московский мужской класс пролетариата и интеллигенции был, спускаясь с трибун, очень добр. Обращая внимание на спящего клиента, никто не пхнул его ногой.

— Во, товарищи, гляди, мужик добился своего, повтор пенальти смотрит, — так неплохо шутили болельщики в этот день славы нашего спорта.

— Какая могучая человеческая масса, — задумчиво проговорил Густавчик, и мы со Спартакком его отлично поняли.

Иностранцам, может быть, это и странным покажется, а вот русскому человеку трудно расстаться, когда их трое, даже если один испанского происхождения. Возникает предложение двинуть в ночной бар «Лабиринт», что на Новом Арбате.

— Да кто нас туда пустит, — усомнился Спартак, — там такая кофла денежная гужется, куда нам, там грузины только за вход швейцарам по полсотни на рыло отваливают, что ты хочешь, не Европа, единственный ночной кабак на всю столицу. Организация наша следит за моралью, падла такая, а ребята говорили, ничего там нет особенного, стол, стул, сиди и киряй.

— С тем же успехом поехали ко мне похоровадимся, — предложил я, вспомнил тут свою воображаемую подругу и захотелось похвастаться. — Есть, между прочим, знакомые в Комитете Советских Женщин, если, конечно, в данный момент не за границей. Жгучие брюнетки интересуют?

— А где же горячего достать для твоих брюнеток? — продолжает канючить Спартак. — Все уже закрыто, нигде ни хера не купишь, вот какую жизнь создала проклятая Организация, пошли по домам, мальчики, гаши фонари до торжества справедливости.

— А как насчет лобовой атаки, орлы? — улыбается Густавчик. — Как насчет штыкового боя? Неужели не ясно? Чтобы советский ночной бар «Лабиринт» не стал кабачком Джека Руби, штат Техас, там необходимо присутствие милиции. Всем встать, лицом к стене, революционный патруль. Дошло?

И вот до нас наконец дошло, какой у нас могущественный новый друг, и вот мы в баре «Лабиринт», который уходит в глубь московской почвы в том районе столицы, что именуется в народе «Вставной Челюстью», благодаря восьми торчащим небоскрегам.

Увы, за вход даже при авторитете майора Орландо пришлось отвалить по восемь рэ с персоны, поэтому сидим скромно, при почти полном отсутствии дальнейших средств, угощаемся полусухим вином «Твиши», хотя внутри порядочное жжение, прошу учесть выпитое на стадионе.

И что же вокруг? Ради чего люди так стараются сюда попасть, чем привлекает этот пещерный уют, с тем же успехом можно сидеть дома: видимость почти нулевая, слышимость в нашем колене подземного пути неудовлетворительная, оркестр сидит где-то в начале, еле доносится музыка «битлов» в вульгарном исполнении.

Кроме нас в этом колене одна лишь заседают компания, впрочем, преогромнейшая — человек двадцать сборной солянки, длинноволосый молодняк и солидная публика с плешками, имеется и женский пол, однако плохо различим в полумраке, но, впрочем, в центре композиции, в глубине кадра, как на картинах старых мастеров, располагается красавица с голыми плечами и с розой в волосах.

— Давай девку у них уведем, — с неожиданным бандитским наклоном предложил Густавчик.

— Давай, — принял предложение Спартакком.

— Да как же так можно, ребята? — удивился я.

— А что? — нехорошо улыбнулся Спартакком.

— А что? — хохотнул Густавчик.

Вдруг приходит официант, настоящая преступная лошадь, и ставит нам на стол бутылку коньяку «Ереван». — Это вам, мужики, с того стола прислали. Майор Орландо развел руками.

— Ну вот, что и требовалось доказать, на другое и не рассчитывал, узнало жулье представителя власти, а значит, этот коньяк принадлежит нам по закону, разливай, Игорек!

Мы встали с рюмками и выпили за присутствующих дам, как того требует закон гор. Красавица в глубине кадра сверкала зубами и белками глаз. Вся компания, приславшая нам

бутылку, полуобернувшись, аплодировала. Майор Орlando не скрывал удовлетворения, популярность, конечно, приятна человеку во всех видах, даже и среди жулья.

Как вдруг до нас доносится от них:

— Велосипедов, Велосипедов, браво, Велосипедов! Нечто сногшибательное, оказывается, я узнал, и коньяк послан именно мне! Впрочем, что коньяк, впервые в жизни я узнал, что рукоплескания в ваш адрес поприятнее всякого коньяку-с.

— Они тебя по «рупорам», наверное, слышали, — предполагает Спартак. — Ну, вот и скажи теперь, что лучше — в «Честном Слове» печататься или по «рупорам» звучать?

И впрямь со всех сторон доносится:

Велосипедов?! Тот самый?! Вчера на «Немецкой волне»... на «Голосе»... на Би-би-си... а по «Свободе» полный текст в оригинале... у меня приемник «Браун F15» пробивает любую глушилку... Браво, Велосипедов!... Вот это выступил! Вот это дерзость!... И глубина немалая, ребята!... И что самое главное — простой инженер!... Ну, знаете, им легче, нечего терять... Не скажите, из текста явствует — потеря привилегий, дачи, автомашины, загранпаспорта... На все плюнул ради правды!... Вот она, новая Россия... молодое поколение, технари... а говорят, кастрированные с детства, врут — маячит!... Молодец, Игорек!... Спасибо, дорогой, от всех нацменов, спасибо тебе за крымских татар!... Браво, чувак, показал им, что мы еще живы!... Скажите, Велосипедов, как вы переправляете свои тексты? Дело в том, что я тоже пишу... Давайте, братцы, присоединяйтесь, составим столы, схвачено?...

Восклицания, нашептывания одновременно в оба уха, торможение, нас перетаскивают к общему столу... простите, но как вы обнаружили во мне именно того самого Велосипе-дова? ... Ха-ха-ха, редкая удача, среди присутствующих есть некто, знавший вас довольно близко, месье Велосипедов.

Сказавшая зажигает спичку, и, потрясенный, я узнаю на лице красавицы-с-розою Фенькины губы, сосущие соломинку от коктейля, зовущие, манящие, жгучие ее губы.

|                       |          |    |   |              |
|-----------------------|----------|----|---|--------------|
| Коктейля              |          | не |   | отведав,     |
| Не                    | попадете |    | в | цель!        |
| Месье                 |          |    |   | Велосипедов, |
| Отведайте коктейль! - |          |    |   |              |

нашептывают мне эти губы, а пальцы ее с весьма несовершенным маникюром суют мне рюмку с противной трехцветной жижей.

Чресла мои сразу же налились «дивным огнем». Уж не хочет ли она возобновления нашей дружбы? Значит, надо быть популярной личностью, смельчаком из иностранного радио, чтобы тебя твоя девка любила? А у того, кто никому не ведом и одинок и презираем, значит, нет никаких шансов? Нет, мадемуазель, теперь вы меня не обманете, вы интересуетесь только моим «моментом эякуляции», моя личность, мой интеллект, внутренние раздоры для вас не существуют. Нет, Велосипедов, сказал я сам себе, ты не притронешься к этому коктейлю!

Вдруг узнаю, не без труда, через стол двух закадычных — Его Шотландское Величество Валюша Стюрин и юный авангардист Ванюша, который Шишленко, оба в новой декорации — бакенбарды, усы, бородки.

— Переживаем период «фиесты», — объяснил мне Шишленко. — Видишь этого опухшего чувака? Знаменитый дизайнер Олег Чудаков, лауреат премии Маршала Тито и этого, как его, ну, Ленина Владимира, большая жопа, но гуляет, как Евтушенко, денег не жалеет, а рядом его кореш Бульжник — оружие пролетариата, шишка из партийных органов. Оба влюблены в печаль твоих очей, заторчали на Феньку по-страшному, просят, чтобы махнула, а она их только дурачит, таковы гордые девушки современной России имени спортобщества «Динамо».

Гуляем уже пять дней, мой друг, и пять ночей, мой друг, не расстаемся, мой друг, только новыми людьми обрастаем. Начинаем в полдень в пивном баре Дома журналистов, там хорошо поправляемся. В три часа переезжаем в Дом литераторов обедать и там обедаем до девяти часов вечера, потом приходит время ужина, и мы переезжаем в ВТО. Там мы ужинаем до часу ночи, а после закрытия перебираемся вот в этот сраный «Лабиринт», где сидим, как они говорят, по-товарищески, до закрытия, то есть до четырех утра. А потом выясняется, что нужно еще *поговорить*, и мы все едем в аэропорт Внуково, где буфет открыт до восьми. И вот здесь, с восьми до девяти, то есть от закрытия до открытия этого вонючего буфета, мы пользуемся замечательным даром природы - *чистым воздухом*. Тебе, наверное, этого не понять, Велосипедов, ты этого лишен, сорняк асфальта, но мы сидим там в привокзальном

садике и целый час обогащаемся кислородом Подмосковья. Я обычно пою, обычно что-нибудь свое. Вот недавно обогатил родину «Песней шпиона».

|                        |     |     |      |   |  |            |
|------------------------|-----|-----|------|---|--|------------|
| Открой                 |     |     | мне, |   |  | Отчизна,   |
| Секреты                |     |     |      |   |  | свои,      |
| Военную                |     |     |      |   |  | тайну      |
| Открой                 |     |     |      |   |  | ненароком, |
| И                      | так | же, | как  | в |  | детстве,   |
| Меня                   |     |     |      |   |  | напои      |
| Грейпфрутовым          |     |     |      |   |  | соком,     |
| Грейпфрутовым соком... |     |     |      |   |  |            |

В общем, как ты уже догадываешься, в девять открывается буфет, и мы там сидим до одиннадцати, а потом отправляемся к открытию пивного бара Дома журналистов и там очень хорошо поправляемся, а потом... вот она, вечная связь искусства с жизнью!

Как вдруг в помещение, если можно так назвать закуток подземного лабиринта, вошел дипломат в золотых очках и с золотой авторучкой в наружном кармане пиджака, пьяный, как задница, и черный, как сапог.

— Негро-арабские народы северо-востока Африки, — тут же пояснил какой-то эрудит в нашей компании и не ошибся: дипломат оказался из Республики Сомали.

Выпив в углу, в полном одиночестве, порцию чего-то крепкого, он подошел к нашему столу и стал выступать по-итальянски, то есть на языке бывших порабитителей.

Его страстное и артистическое выступление чем-то напоминало арию Канио из оперы «Паяцы», хотя он не пел.

Можно было, собственно говоря, не обращать на него внимания, если бы Фенька так не смеялась, она ничего не говорила, глядя на дипломата, а только лишь смеялась, безудержно и не очень-то оптимистично хохотала.

— На каком языке негатив выступает? — слегка нервничая, спросил Валюша Стюрин.

— Неужели европейский монарх не понимает языка великого Джузеппе Верди? — спросил я, и оказалась неожиданная удача — все вокруг с готовностью захохотали, как будто какая-нибудь знаменитость сострила, а не просто Игорь Велосипедов.

— Густавчик, а ты не понимаешь копченого? — спросил Спартак.

— Дело в том, что понимаю, — сумрачно ответил майор Орландо. Полуобернувшись, нога на ногу, в стуле, он смотрел на дипломата без всякого сочувствия. — Дело в том, что очень плохо о нашем народе высказывается этот товарищ, — сказал далее майор Орландо. — Как-то не по-марксистски у него получается. Все русские грязные свиньи. А женщины наши, по его мнению, все бляди, все только и мечтают о черном... половом органе. Интересно, соответствует ли это действительности?

Общество, конечно, возмутилось, многие стали предлагать немедленно поучить посланца Африканского Рога цивилизованным манерам, но другие, однако, увещевали горячих товарищей не заводиться, мало ли чего наговорит «чурка», у него дипломатическая неприкосновенность, была бы, дескать, у меня такая, я бы и не так еще сказал, надо проявлять снисходительность великой нации, нам этот Африканский Рог нужен позарез, потому что он выпирает в Индийский океан.

Кажется, Альфред Булыга как раз и высказал последнюю идею. Станным образом он меня как бы не замечал, а только лишь временами подмигивал совершенно бессмысленным образом. Неужели не помнил, как вербовал Велосипедова, инженера, в компанию «деятелей»? Конечно, мог и не помнить — нас много, они — одни.

— Тутти донни руссо путани, репутани, репутиссима! — тем временем продолжал кричать дипломат.

Тогда я встал и подошел к нему вплотную. Он был выше на часть головы.

— Вы всех русских женщин имеете в виду? — спросил я.

— Всех! — подтвердил он.

— И присутствующих? — спросил я.

— Вот именно, — сказал он.

— И вон ту девушку с цветком в волосах? — спросил я. — Ее особенно, — сказал он.

— В прошлом нам бы осталось только выбрать оружие, милостивый государь, — сказал я. — Я бы вас с удовольствием заколол, синьор, или застрелил.

— Хорошо, что мы не в прошлом. Можно просто дать вам по харе, — сказал дипломат и сделал это.

Дальнейшее проходило, как в тумане. Лежа у шероховатой стены «Лабиринта», я видел мельтешение ног, будто в дичайшей самбе, среди них мелькали и мелкоклетчатые брючки дипломата. Потом появилось и его тело, рухнувшее по соседству. Под ребра ему въехал тупой милицейский штиблет. Потом ноги вокруг стали редеть.

— Вставай, Гоша, простудишься, — сказал сверху Спар-тачок Гизатуллин. — Линять пора. Тут ребята занзибарского посла задавили.

Приподнявшись, я увидел, как два лабиринтовских официанта, пара ребят по кличке «хиппи-ханурики», специально, между нами говоря, тренированные для нехороших эксцессов, за ноги и за руки выносят вон бесчувственное черное тело. У одного из кармана торчала золотая авторучка, у второго на носу красовались золотые очки. Присутствующий при выносе метрдотель Альфредыч застегивал на запястье золотую «Сейку».

Вот такие пустяки запоминаются, а важные события вроде штурма космоса пропадают. Я видел своими глазами, как тело дипломата было выброшено на холодный асфальт Калининского проспекта. Суд Линча, иначе и не скажешь, безжалостная расправа над представителем Третьего, если не Четвертого, мира. От удара об асфальт дипломат, между прочим, очнулся и стал снова выступать уже на языке той страны, где был аккредитован, то есть матом.

Спартак побежал ловить такси, а я, лишившись поддержки, схватился за ближайшую водосточную трубу и сполз по ней вниз. На моих глазах распадалась компания, не разлучавшаяся пять дней и пять ночей. Цепь была порвана, началась тревога и вслед за ней хаотическое бегство. Промелькнул милицейский мотоцикл, увозивший на облучке сурового майора Орландо, а в коляске все еще хохочущую Феньку. Альфред Булыга и его кореш Олег садились в черную моссоветовскую «Волгу», Валюшу и Ванюшу в этот момент били многочисленные дружинники. Подъезжала пожарная машина.

Я думал тогда, что вокруг в человеческой жизни сизыми утренними пластами висит немало печали. Абсурдна как сама жизнь, так и ее запись, кинолента тем более. Очнулся я после этой заключительной идеи, однако в мире полной гармонии, в собственной койке, хоть и в ботинках, но под простыню.

Через неделю стало известно, что по требованию Республики Сомали ночной бар «Лабиринт» навсегда переоборудован в диетическую столовую «Молоко».

## Тарзаны И Дилижансы

Какие— то кубометры времени, конечно же, утекли прежде, чем в секции поршней моторной лаборатории прозвенел звоночек из отдела кадров. Машина социализма крутит довольно тяжело и не всегда ритмично, на одном конце у нее и в самом деле компьютер, но на другом— слепая шахтерская лошадь, вот почему даже историческое «разобраться» столько времени ташилось до объекта, то есть от Брежнева к Велосипедову.

Игорь Иванович, к тому времени совсем уже истощенный телефонными разговорами с Фенькой, частыми прилетами воображаемой Ереванской махи, философскими воспарениями на пару с Сашей Калашниковым, «культпоходами» в обществе Спартачка и Густавчика, бдениями над огромными рукописями из небоскрежных глубин Агриппины Тихомировой, проходящим мимо московским летом со сменяющимися друг дружку ароматическими волнами пыли и сырости, сирени и бензина, арбузов и неотмываемой метрош-ной подмышки, а также частыми и всегда как бы случайными, но неизменно демоническими мельканиями на горизонте несостоявшегося друга, со-рыцаря тайной ложи Жени Гжатского, словом, утомленный совсем, ничего уже хорошего от жизни не ждал, не говоря уже о Болгарии, когда наконец «разобрались» и пригласили зайти, как сейчас принято, в сослагательном наклонении — ты бы зашел.

Кадровик с сожалением смотрел на Велосипедова. Ведь неплохо шел этот 1943 года рождения, ей-ей хорошим шагом поднимался, и даже наши ребята на него хер не точили, а, напротив, как бы симпатизировали, и вот сам все пустил под откос. Чему же мы учили молодежь-то все эти славные десятилетия, длинные бабские гривы запускать?

Кадровик вспомнил, как он решительно выступал в послевоенные годы против показа западных «трофейных» фильмов. Вот вам результат: погнались за копейкой, а упустили

настоящее сокровище — молодежь, вместо советских людей вырастили гниль, идейно ущербных. Он начал не без затруднения:

— Вот, понимаешь, товарищ Велосипедов, лаборатория ваша вкупе со всем институтом, да и полностью со всем нашим кустом, переходит на новый режим работы. Внешне все, дорогой друг, останется по-прежнему, а внутри глубочайшие изменения, усиление идейно-воспитательной работы, повышение, ну, вот я тебе уже и секреты выдаю, повышение бдительности. Ты спросишь почему, товарищ Велосипедов? А взгляни-ка на карту. Португальская колониальная империя разваливается, ну, и империалисты, конечно, попытаются полакомиться плодами распада, остановить поступательный ход истории. Получается, что силам мира и прогресса снова приходится трубить боевой сбор, вся планета опять на тебе, русский Иван...

С нарастающей сосущей Тоской два человека смотрели друг на друга через стол. Кто, куда, откуда, почему? — казалось бы, спрашивали они друг друга. Ответа быть не могло, вместо него — гудящий тоннель, внутренности улитки.

— Я хочу с тобой откровенно, — сказал кадровик, — надеюсь, поймешь. По поручению соответствующих органов оформляем сейчас «допуска» всем сотрудникам. Ну, вот и неожиданно вышло на поверхность, Игорь Иванович, что мама ваша, талантливая актриса, пела Сильву в оккупированном Краснодаре и аплодировал ей из ложи не кто иной, как офицер горнострелковой дивизии «Эдельвейс» Клаус Рихтер — не знакома эта фамилия? — да-да, вот такой же, как и вы, товарищ Велосипедов, голубоглазый блондин.

— Не совпадает, — возразил уныло Велосипедов. — Простите, но полное же несовпадение. Проверьте даты моего рождения и оккупации Краснодара, удивительное обнаружите несовпадение.

— А с чем должно совпадать? — удивился кадровик с профессиональной подлостью. — Ты, товарищ Велосипедов, за мракобесов нас не держи, принципы пролетарского интернационализма нам известны. В ГДР определенный процент руководства — бывшие члены национал-социалистической партии. Не исключено, что и Клаус Рихтер порвал с позорным прошлым и примкнул к нашему учению, дело совсем не в нем и даже не в Сильве. Дело в том, что в современных обстоятельствах, когда твой диаметр пойдет широким потоком в Африку, мы вынуждены пока, подчеркиваю, пока, подвесить твой допуск, Игорь Иванович, надеюсь, ты проявишь свою общеизвестную сознательность и поймешь меня правильно. А поэтому, дорогой вы мой... ты еще молод... глядишь, и на другом участке... ну...

— Да вы не мучайтесь, — совершенно чужим, неприятным голосом сказал Велосипедов и, сказав это *таким* голосом, сообразил, что в этот момент переходит как бы в другое качество, вот теперь немедленно без всякого пролога прямо здесь на месте разворачиваются одно за другим огромнейшие полотна всеобщего мятежа. Он встал. — Мы, Велосипедовы, знаем себя на Руси пятьсот лет, мой предок хоругвь держал при поле Куликовом, а прадед еще дьяконом пел в Вышнем Волочке, а нынешний мой отец Иван Диванович Велосипедов, секретарь райкома профсоюза работников пушной промышленности, тоже голубоглазый! Давайте!

— Что давать? — растерянно спросил кадровик.

— Приказ об увольнении.

Кадровик боролся с желанием плюнуть в лежащие перед ним бумаги и встать из-за стола в такую же гордую позу.

— Может, сами напишете заявление, Игорь Иванович? Может, оформим уход по собственному желанию? Легче будет ведь по собственному...

— Нет уж, — сказал Велосипедов. — Хватит! Давайте!

— Натe, — сказал кадровик и протянул Велосипедову заготовленные заранее выписку из приказа и трудовую книжку.

— Хватит с меня, хватит, хватит, — бормотал Велосипедов, проходя по кабинету кадровика к выходу, и последнее, что услышал кадровик уже из коридора, -

*Хватит с меня!*

Вот так может загореться огромная контрреволюционная революция, мрачно думал кадровик. А ведь все началось с этих проклятых «трофейных» фильмов. Не будь этих буржуазных «Тарзанов» и «Дилижансов», поколение воспитывалось бы на Павке Корчагине, в уважении к старшим товарищам. Как мог Иосиф Виссарионович разрешить прокат этих фильмов? Не исключено, конечно, что это была подрывная работа Берии. Вот важнейшая ошибка времен культа личности.

Он снял трубку, чтобы отзвонить Гжатскому, сообщить о результатах беседы, и тут его малость перекосило: какая муть — Рихтер, Сильва, оккупация, скорее бы уж на пенсию...

*Хватит с меня!*

Итак, остался И.И. Велосипедов без своей лаборатории поршней, и, взаимно, она без него, а позднее, через два дня, в четверг, после обеда, присоединился к нему верный друг Спартак Гизатуллин, в том смысле, что попросту проявил пролетарскую солидарность. Что же, моего кореша давят, а я сопеть буду в тряпочку? Не дожидается этого от меня проклятая Организация!

Казалось бы, на московских улицах источник средств существования обнаружить трудно, однако это только на первый взгляд. В условиях развивающейся автомобилизации, жигулизации страны двое московских безработных с дефицитной специальностью на руках, а точнее, с доскональным знанием транспортных средств, будьте спокойны, не пропадут.

Ну вот, например, на углу Планетной и Третьей Эльдорадской вы замечаете человека, который почти в полном отчаянии корячится с заводной ручкой возле своего «Запорожца». Вы с интересом наблюдаете мучения одинокого интеллигента, который по идее-то хочет одного — будто бы на Западе пилотировать свое Транспортное Средство, и после некоторого наблюдения приходите к некоторому заключению: реле зажигания полетело к жуям, трамблер зажуярился в сосиску, не говоря уже о мелочах вроде стартера, в жуялку изжеванных щеток. Бессмысленные же движения симпатичного лет под полета в кожаной куртке вызывают улыбку.

— Простите, молодой человек, но вам, похоже, одному с вашим аппаратом не справиться.

— А где же взять специалиста? — в отчаянии вопрошает владелец, голова вниз, задница вверх. — Попробуйте записаться в автосервис! Потеряете месяц! А приобретете одни унижения!

— Специалисты перед вами, дорогой товарищ!

И вот, к восторгу владельца, за вполне умеренную плату два неплохих молодых человека из нежуликов весело, споро чинят чудовищное детище советской индустрии и день за днем превращают его в сравнительно надежное ТС.

Каждый человек, рассуждает Спартак Гизатуллин, должен заниматься своим делом, а в нашей пошлой Организации все наоборот — кухарка управляет государством. Технический специалист вроде нас с Гошей должен починять технику — кто за? — а владелец «Запорожца» должен им просто владеть, а не натягивать себе грыжу с заводной ручкой. Кто за? — я спрашиваю. Каждый должен, как у нас в Татарии говорят, «крутить своя баранка», и вот ты, Яша, должен делать то, для чего учился, то есть писать свои книги и брошюры.

Владелец ТС, между прочим, оказался не кем иным, как Яковом Протуберанцем, философом и социологом, гигантом русской свободной мысли и светочем Самиздата.

Велосипедов думал о том, какие чудеса таит в себе Москва. Случайная торчащая из-под какой-то сломанной автомашины попка, оказывается, принадлежит властителю твоих дум, автору трудов, которыми зачитывается передовая русская молодежь.

— Кто вы по национальности, Яша? — спросил Велосипедов. — Я не ошибся?

— Нет, Игорек, вы не ошиблись, — отвечал новый друг и клиент. — По национальности я Яков Израилевич Протуберанц, советский бесправный гражданин. Пятый пункт, друзья, — это позор нашего общества. Даже в дореволюционной России в бумагах указывалось вероисповедание персоны, а не его национальность, то есть его духовная суть, а не биологическая окраска.

— Почему «даже»? — удивился Спартак. — Что может быть хуже *этой* Организации?

Оказалось, что и Протуберанцу известно имя Велосипедова: он следил за «прохождением в мировой прессе его Второго Письма Вождю, этого редкого человеческого документа».

— А ведь заочная встреча с вами, Яша, меня отчасти перевернула, — признался Велосипедов. — Ваша «Вторая реальность» совпала с моими собственными идеями о возникновении нового рабовладельческого строя, подчиненного идолу Бумаги.

Философ с удовольствием потирал руки, пружинил спортивные ножки, слегка даже подпрыгивал по ходу прогулки.

— Бумага — это не главное, друзья мои! Не думали ли вы о том, друзья мои, что общество, ставящее своей высшей целью удовлетворение своих собственных нужд, работает вхолостую, живет бессмысленнее, чем мох на болоте?

— Думали! Думали! — отвечали друзья его.

Они обычно прогуливались втроем вдоль линии безобразных гаражей-самоделок на задах улицы Восьмого марта.

— А вот меня, друзья мои, — признавался Велосипедов, — честно говоря, очень пугает, мороз по коже, мое второе существование в официальных бумагах, в кабинете следователя КГБ. Кажется, что чем больше ты там разрастаешься, тем меньше становишься в жизни.

И он проиллюстрировал свое признание крупной дрожью. Яков Протуберанц старался его ободрить:

— Чудовищность нашей бюрократии определена бессмысленностью нашей метафизической цели в масштабах полной онтологии.

Протуберанц обычно небрежно держал под мышкой пару-тройку своих новых переводов, ну там «Вторую реальность» в издании Эйнауди по-итальянски, или по-английски выпущенную «Пингином» на весь мир, ну там израильский выпуск «Конец тоннеля?», ну там какая-нибудь статья в периодике США... Он обычно объяснял это чистой случайностью, просто вот только что, на бегу один американский журналист передал, вот поэтому и под мышкой, но друзья, конечно, понимали, что Яша хочет похвалиться своими достижениями, и не осуждали его.

Иногда к троице, сменившись после дежурства, присоединялся майор Орландо. Он приносил с собой закрывающуюся на «молнию» хозяйственную сумку. Содержимое ее доказывало, какое большое значение придает майор мужской дружбе.

Четверка выкатывала из гаража протуберанцевский «Запорожец», забиралась внутрь и многочасовыми дискуссиями опровергала обязательность знаменитой московской «тройки», доказывая эффективность квадриги.

— Наша страна катится в пропасть, — иногда сообщал секретные сведения майор Орландо и в таких случаях скрипел зубами. — Эх, жаль, не выдают нам к оружию патронов...

— А вы бы знали, Густавчик, что делать с патронами? — спрашивал наивный философ.

— Дело в том, что знал бы, — чеканный лик тореадора затуманивался явно притворной грустью.

Какая вдруг неожиданно свободная и не лишенная даже душевного комфорта жизнь открылась вдруг Велосипедову после изгнания с работы: работай сколько хочешь, можно даже много работать, и на собрания не гонят, не нужно разоблачать империализм. Однажды только, когда засиделись у гаражей допоздна, вздохнул печально Велосипедов — дескать, не увидеть мне теперь больше Болгарской Народной Республики.

— И ничего не потерял, — сказал Спартак. — Я там был, там хорошего мало.

— Как же, Спартак, ты не рассказывал никогда о своем путешествии? — изумился Велосипедов.

— Паршивая история, вот и не рассказывал. Мы туда на туристском пароходе приплыли, высадились в Варне, а милиция там с ходу стала нас хватать и волосы стричь — не разрешается там длинные волосы. Мы говорим: не троньте нас, мы советские! А менты нам в ответ: а мы что, не советские, что ли? Там, фля, в Болгарии, процветает все та же Организация...

Конечно, безработица и на финансах отражалась очень благоприятно. Клиентов у них оказалось навалом, и в основном благодаря другому велосипедовскому новому корешу, самому молодому Народному артисту Советского Союза Саше Калашникову. В основном, конечно, были это жильцы и жилицы жилтоварищества «Советский балет».

Известно всем, что птички вышеназванного балета наделены и неплохими коммерческими талантами и привозимые ими с нью-йоркских свалок имитированные меховые шубы со сравнительной легкостью превращаются в натуральные русские «Жигули».

Спартак обычно брал на себя возвращение ключей и финальные расчеты с чудесными хозяйками. У прелестниц расширились глаза при виде светловолосого красивого татарина, любезно оповещающего о завершении ремонта. Завязывалась непринужденная беседа, обмен юмором, который порой перемещался с порога прямиком в спальню. Таков был этот сервис! Балеринам казалось, что в Москве исподволь происходит реставрация очаровательного капитализма.

Велосипедов, конечно, не позволял себе таких легкомысленных отношений с противоположным полом, во-первых, по складу своего, как говорится, «цельного» поповичевского характера, а во-вторых, в связи с внутренними противоречиями, уже знакомыми читателю.

С Фенькой был полный раздрызг, случайные же встречи напоминали спорадические выходы крымского хана, опустошавшие средневековую Русь. Велосипедов мучился, но казалось ему, что и мука стала как-то воздушней, как-то ароматней в его новом незарегистрированном состоянии.

По—прежнему он много читал, потребляя в основном продукцию Агриппины Тихомировой, однако стал уже подумывать, а не превратиться ли из потребителя в производителя. Толчок его творческим импульсам дала довольно неожиданная персона, а именно председатель Контрольной Комиссии при ЦК КПСС Арвид Янович Пельше.

А как было дело? Зашел однажды в Книжную лавку писателей, что на Кузнецком мосту. Нет ли чего почитать, в частности полного собрания сочинений Вольтера? Из полных собраний, говорят, располагаем только Арвидом Яновичем Пельше в двенадцати томах. Что ж, почитаем и это! Взясся и был заинтригован — какие, оказывается, могут открыться мыслительные возможности при чтении наглой абракадабры некоторых авторов.

И вот начал Велосипедов потихоньку работать над кое-чем фундаментальным, над философским эссе под названием «Читая Пельше». Надеюсь, Яша поможет, думал он. Не может быть, чтобы Яков Израилевич не помог. Поможет, можно не сомневаться.

Однажды произошло удивительное событие. Он шел по Усиевича, собираясь свернуть на Черняховского, когда на углу, где обычно много циркового и киношного люда ловило такси, увидел стройную, но несколько провинциальную Девушку в голубом, но чуть-чуть коротковатом брючном костюме. Приблизившись, он узнал в этой девушке свою мать, которая, как оказалось, подчиняясь материнскому инстинкту, приехала его спасать из Краснодара.

Три спектакля пришлось отменить, «Иркутскую историю», «Веселую вдову», ну и, конечно, бессмертную «Сильву», вот примчалась на всех парусах, друг мой, ха-ха!

Твое рождение, друг мой, ни для кого в городе не было тайной. Отчетливо помню, мой дорогой, тот вечер, когда Иван Велосипедов приехал из казарм на велосипеде. Не смейся, ты же знаешь, что наша фамилия не имеет никакого отношения к этим велосипедикам, я всем об этом говорю, но мне не верят. Уже полыхала война. Я пела ему: «Я на подвиг тебя провожала. Над страной гремела гроза, Я тебя провожала. Но слезы сдержала, И были сухими глаза!» Именно под звуки этой песни ты и был, мой друг, ну, как говорится, зачат. Ну, а что касается Клауса Рихтера, то к моменту немецко-фашистской оккупации я была уже, ха-ха-ха, в интересном положении, да и вообще, кроме эстетических, он не был готов ни к каким отношениям, потому что страстно ненавидел войну. Вот и сейчас он работает парткомом на судоверфи в Варнемюнде, недавно был у нас во главе делегации борцов за мир ГДР, вообрази себе нашу встречу, ха-ха-ха!

Я немедленно, немедленно, немедленно отправляюсь куда следует, не допущу, чтобы моего мальчика, ой, ха-ха-ха, у тебя, мой друг, маленькая плешиночка, не допущу, чтобы... немедленно к самому Демичеву... меня ценят... сейчас рассматривается вопрос о присвоении звания... Заслуженной... Адыгейской автономной!... Видишь, я прямо сразу сорвалась, перенесла три спектакля и в самолет, а там, воображаешь, один моряк, ха-ха-ха, капитан-лейтенант... девушка, говорит, простите, вы путешествуете в одиночестве?...

Велосипедов смотрел на ее плоские голубые глаза, на маленький ротик, округляющийся при похихатывании, и, как писали раньше в советских романах о загранице, «ему хотелось плакать». Да она меня любит, думал он, ведь не было же у Сильвы никогда тридцатилетнего сына с проплешиной, а стоило выгнать его с работы, подвергнуть гонениям, и вот — сын появился! Ах, маменька, маменька, почему бы вам. наконец, не постареть?

А она между тем как раз молодела на глазах, благодаря румянцу благородного гнева. Вот телеграмма из Нарьян-Мара. Иван Диванович Велосипедов в ответ на мой запрос радирует:

«Настоящим подтверждаю отцовство своему законному сыну Велосипедову Игорю Ивановичу».

Подпись Велосипедова-старшего заверена бригадиром кассы Амангельды Эдишербековой.

— У меня, между нами, знакомый есть в Политбюро, — сказала мама и посмотрела на сына смущенно снизу вверх. — Такой Дима Полянский. Он был у нас когда-то первым секретарем крайкома, ведь не может же он, ха-ха-ха, меня забыть.

— Мама, дорогая, — возразил Игорь Велосипедов. — Вы, если собираетесь предпринять чрезвычайные меры, имейте, пожалуйста, в виду, что я глубоко разочарован в существующем порядке вещей. Печально, но факт...

— Ах, ты просто влюблен, друг мой! — всплеснула ладошками звезда Кубани. — Признайся! Признайся!

— Да-да, — признался со вздохом Велосипедов. — Я просто влюблен.

— Надеюсь, до внуков еще не дошло?! — воскликнула Сильва с некоторой как бы легкомысленной тревогой и в то же время с игривостью, вообразив розовощекого пузанчика, которого все принимают за ее сына и никто не догадывается, что это ее внук, а если скажешь, просто отказываются верить — дивная сцена, дивная!

Тут она посмотрела на часики, ахнула, подмазала губки и побежала в Политбюро.

Вернулась она серьезная, значительная, почти суровая. Увы, друг мой, не очень-то хорошие новости. Т А М к тебе относятся слишком серьезно. И она рассказала о встрече с Полянским.

Он стоял у окна в своем огромном кабинете и смотрел на ветви сада, когда она вошла. Он протянул ей навстречу руки и грустно улыбнулся. Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье? Помнишь ли ты наши мечты? Ах, это был только сон, но какой чудный сон...

— Увы, мой друг, Митя — не царь, и единственное, что он посоветовал тебе, жить тихо и... — тут мама извлекла из сумочки кружевной платочек, на котором второпях тушью Для ресниц записала сказанное Митей, — и не способствовать... вот так... расширению... вот именно... и без того серьезной информации. Пока, сказал Митя почему-то шепотом и добавил почти неслышно: нужно ждать, ждать, ждать...

Между тем пришла осень, и разразилась война на Ближнем Востоке. Израиль использовал свой религиозный праздник Йом Кипур для затягивания арабских народов в ловушку новой агрессии.

В разгар боев на Синае Яков Израилевич Протуберанц стоял в очереди к телефону-автомату возле метро «Динамо». Он был четвертым, а за ним уже скопился целый хвост.

В будке упражнялся брюнет в светло-сером костюме, то поворачивался к очереди длинной спиной с выпирающими лопатками и драматически в такой позиции изгибался, то вдруг давал лицезреть лошадиное лицо, закатывающиеся в пафосе беседы мутные глаза, клавиатуру желтых зубов, длинные и волосатые пальцы с насаженными на них перстнями. Просто настоящий «театр одного актера».

Якова Израилевича эта ситуация нимало не раздражала, потому что он даром времени не терял, размышлял свои возражения австралийскому мыслителю W, объясняющему историю роевыми инстинктами человеческих масс, и даже делал кое-какие пометки для памяти, фигурально говоря «на манжетах», а фактически на полях французского журнала «Альтернатива», где недавно была напечатана его статья.

А вот остальная публика, однако, начала уже основательно ворчать в адрес неопределенного брюнета, который разговорился, как будто он дома. Надо монеткой постучать этому нерусскому товарищу, может, опомнится, пока не поздно.

Товарищ, стоящий первым в очереди, сочтя претензии сзади стоящих товарищей вполне обоснованными, ребром двухкопеечной монеты постучал в стекло будки тому товарищу, который злоупотреблял общественным терпением, то есть брюнету. Тогда вышеуказанный приоткрыл дверь будки и плюнул в лицо тому, который стучал. Затем, закрыв дверь, продолжал свой театральный диалог. Публика была потрясена и сразу начала безмолвствовать. Кто его знает, кто такой, если плюется. Вот вам опровержение вашей теории, дорогой W, подумал Протуберанц. Вот налицо резко индивидуалистический акт отдельной недетерминированной личности, который может иметь основательные общественные последствия.

— Товарищи! — после довольно продолжительного молчания воззвал оплеванный. — Что же, так всю жизнь и будем терпеть?!

Публика хмуρο напряглась. Субъект в будке, картинно изогнувшись, демонстрировал тонкую талию и вызывающе выпяченное под тонким габардином свое хозяйство.

Если это еврей, подумал Протуберанц, то, боюсь, мы сейчас получим в некотором смысле общественный антисемитский акт. Внешне это подтвердит теорию уважаемого коллеги W, однако ведь в основе-то...

Субъект повесил трубку, открыл дверь и крикнул с порога телефонной будки:

— Русские свиньи!

После чего начал валиться на бок, производя еще при этом спазматические движения кадыком.

Оплеванный товарищ поддержал падающего.

— Не будем уподобляться линчевателям из Алабамы, — сказал он публике, которая и не собиралась уподобляться никаким линчевателям, а пребывала лишь в некотором недоумении — что же товарищ имел в виду, выкрикивая подобную нелепость? — Сейчас мы его просто-напросто передадим блюстителям порядка, — сказал оплеванный и обратился за помощью к ближайшему мужчине, то есть к Я.И.Протуберанцу: — Надеюсь, поможете, товарищ?

Итак, вдвоем с оплеванным товарищем философ Протуберанц транспортировал похрапывающего и постанывающего товарища брюнета в ближайшее отделение милиции, что под трибунами небезызвестного столичного стадиона. Там в этот час было тихо. Дежурный лейтенант читал книгу. В углу подремывал единственный задержанный, красноносый и кудреватый, похожий на Емельяна Пугачева, хоть и кривой, как фельдмаршал Суворов, бич.

— Ну, что вам, ребята? — спросил лейтенант таким тоном, будто Протуберанц и оплеванный товарищ здесь частые гости.

Выслушав рассказ об оскорблении путем испускания слюны и выкрикивания лозунгов, чуждых принципам пролетарского интернационализма, офицер вздохнул и вытащил бумагу для составления протокола. Тут выяснились, конечно, личные данные всех участников драмы, двух сознательных граждан, доставивших в отделение дерзкого брюнета, а также и сам дерзкий брюнет, несмотря на сопротивление и попытки станцевать что-то восточное, был опознан по дипломатическому паспорту как господин или товарищ Ясир Абу Гадаф, атташе по культурным вопросам Республики Сомали. Фамилия же оплеванного товарища оказалась Морозко, а имя-отчество Борис Рувимович.

— Клянусь, думал, что азербайджанца тащим, — шепнул Борис Рувимович Якову Израилевичу. — Теперь, старик, возникает просто вопиющая история: *наши* как раз сегодня Суэцкий канал форсировали, а мы с тобой араба — в милицию! Вот схлопотали мы с тобой приключения на собственную верзоху!

Дежурный офицер, однако, никакого символического значения не придавал тому факту, что два еврея привели в участок одного араба. У этого сомалийского товарища, объяснил он, к сожалению, дипломатическая неприкосновенность, иначе мы бы его сейчас в медицинский вытрезвитель спать отправили, а теперь придется сказать «гуд бай, салам алейкум», пусть его теперь сами сомалийские товарищи по партийной линии выгребут.

Он вызвал коляску, лично проводил бессмысленно хохочущего дипломата до дверей, передал его в руки сержанту и только слегка коленкой поддал ему на прощание.

— А вам, ребята, придется задержаться, — сказал он евреям, — сейчас начальник приедет, будем разбираться.

— Так ведь мы же ж пострадавшие! — заволновался Морозко Борис. — Мне лично в лицо желтой слюной было плюнуто! Что же это за равенство такое получается, где же тут Декларация прав человека?

— Да все в ажуре, — сказал офицер, — нет оснований для волнения. Просто, мальчики, у нас такая инструкция — если в какое-нибудь дело замешан дипкорпус, вызываем начальника, ну, и кого-нибудь из КГБ. Такая формальность.

Морозко и Протуберанц переглянулись. Только бы не проговориться кагэбэшнику, подумал Морозко, не выказать бы симпатии наступающим *нашим* войскам. Хорошенькое дело, подумал Протуберанц, а что, если попросят открыть портфельчик?

В портфеле у него, кроме упомянутого уже журнала «Альтернатива», еще имелось кое-что: нью-йоркский альманах «Воздушные пути», лондонский журнал русского авангарда «Студент», да и франкфуртские туда же «Грани». Во всех этих органах фигурировали протуберанцевские статьи на социально-философские темы.

Потянулись томительные часы ожидания начальства из КГБ. Впрочем, скорее всего, на всю эту нелепую историю ушло не более одного часа, просто так уж томительно тянулось время, такой уж это выдался томительный день уходящего лета, когда медленно и худосочно тлеют закатные тучки, неподвижно стоящие над бурым краем Петровского парка. А ведь именно в

этот час, точно по минутам совпадая с нашими дурацкими событиями, огромные пустынные горизонты Синая сотрясались и озарялись артиллерийскими и ракетными ударами, а в небе в «собачьих схватках» проносились «фантомы» и «миги».

— А у меня, ребята, проблема, — пожаловался дежурный, и, конечно же, слово «проблема» неправильно им было произнесено вовсе не от недостатка образования, а, скорее, от его избытка, то есть иронически. — Вот выиграл вчера по денежно-вещевой лотерее холодильник «Север» — удача вроде бы, правда, удача? — но вот уж никак не думал, что с такой удачей возникнут в самом деле сложные проблемы. Дело в том, ребята, что у меня уже имеется на кухне холодильник «Север», а брат выигрыш деньгами просто как-то Дико, потому что хочется получить сверх хоть рубликов двадцать. Вот такая получилась обидная проблема, — в конце этого маленького монолога лейтенант уже правильно произнес ироническое слово и этим все-таки показал, что положение серьезное. Засим печально стал смотреть в окно, в котором по праздным угасающим небесам одинокий пилот тянул в этот момент свой никчемный след.

— У меня лично в доме хоть шаром покати, — признался Морозко Борис. — Ни одного лишнего рубля не завалилось.

— А вот для меня, товарищ лейтенант, ваша проблема — это настоящая удача, — признался Протуберанц. — Ведь я просто ноги сбил в поисках холодильника. Удивительное совпадение некоторых внутренних мотиваций, заставляющее о многом задуматься.

— Так ты сходи в сберкасса, сынок, — сказал лейтенант, хотя вроде бы сам годился философу, ну, если не в сыновья, то в племянники от старшего брата. — Пока кагэбэшники приедут, ты как раз обернешься. Лады?

Философ дважды просить себя не заставил и тут же слинял из участка в наступающие сумерки. Хотел было уже бодро бежать домой, разгружать крамольный портфельчик, как вдруг остановился посреди тротуара, пронизанный сокровенным содержанием момента. Оно (содержание момента) просто оглушило его, если не сказать пронизало.

Дело в том, что в кармане Якова Израилевича как раз находилась сумма, равная розничной цене холодильника «Север», то есть 150 рублей плюс двадцать рубликов сверху, на которые как раз и намекал дежурный офицер. Дело в том, что жена философа, известная в московском подпочвенном искусстве поэтесса Мириам, как раз и послала его в электромагазин «Свет» для покупки холодильника «Север» путем дачи взятки 20 рублей продавщице или грузчику. Как раз по поводу неуспеха этой операции Яков Израилевич и собирался «отзвонить домой» из описанного выше телефона-автомата. Хотел признаться жене, что полдня ходил вокруг этого воровского магазина и так и не решился дать взятку.

Итак, роевые инстинкты огромных человеческих масс вкупе с отдельными иррациональными актами личностей, недетерминированных культурой, на фоне прорыва танковой армии генерала Шарона, плевков в лицо Борису Рувимовичу Морозко в сочетании с выигрышным билетом денежно-вещевой лотереи у дежурного по отделению милиции — все это представляло собой не что иное, как настоящую бурю экзистенциальной философии. И в центре этой бури оказался он, философ Яков Протуберанц, да что там, просто человек, с присущей этому отряду способностью нравственного анализа и правом свободного выбора.

Можно просто не возвращаться в участок от греха подальше, в конце концов, я не имею к этой истории никакого отношения, плюнуто не в меня, и оскорбление «русские свиньи» тоже ко мне не очень-то относится. Если захотят, пусть сами разыскивают как свидетеля. Можно спрятать где-нибудь литературу, ну, предположим, в водосточной трубе, и вернуться, чтобы подкрепить позицию Бориса Рувимовича Морозко и приобрести лотерейный билет на радость Мириам. Однако не унизительно ли мне, ученому с мировым именем, прятать литературу в водосточной трубе? В таком случае почему же я с такой радостью выскочил из?...

Вариантов нравственного выбора оказалось много. Яков Израилевич посидел некоторое время в метро, отверг те варианты, которые были недостойны личности с этическим правосознанием, и вернулся в отделение, неся в потном кулаке свои 170, а в портфеле всю свою крамолу.

— Видишь, Борис. — сказал лейтенант оплеванному Морозко, — ты в своем товарище ошибся, а меня жизнь научила верить людям.

В этот момент дверь открылась, и в помещение вошло непосредственное начальство, не кто иной, как мускулистый и чернобровый майор Орландо. За его плечами маячили двое неразлучных, бледный и как бы томимый вечной жаждой Игорек Велосипедов и Спартак Гизатуллин с неизменной своей нехорошей улыбкой в адрес «этой Организации».

Разумеется, все вопросы были решены в течение нескольких минут. Кагэбэшников решили не ждать, их ждать — зажаришься, сами все решим, МВД — Мощь, Воля, Движение! Лейтенантовские протоколы майор Орландо засунул в задний карман своих форменных брюк. В следующий раз, сомалиец, лучше не попадайся, антирусская душа, эх, жаль, нам патронов не выдают к нашему оружию!

Лотерейный билет, конечно, к общему восторгу, переключался из письменного стола в карман Якову Израилевичу. Лейтенант стыдливо хотел было отказаться от прибавочной стоимости, но Протуберанц настоял:

— *Логика хаоса, мой друг!*

Хотели было уже друзья удалиться всей своей гопой, как вдруг заметили молчаливого свидетеля всей ситуации, краснорожего бича, похожего на Емельяна Пугачева. Этот бич на протяжении всей сцены ласковым бессмысленным взглядом обозревал присутствующих, тихо икал и иногда конструировал пальцами подобие продолговатой рамки; в таких случаях взирал на окружающее через эту рамку.

— Густавчик, по-моему, это наш человек, — тихо шепнул Велосипедов майору Орландо.

— Кто это у тебя там икает? — спросил майор Орландо у лейтенанта Горчакова.

— Это наш постоянный клиент, товарищ майор. Мы его зовем «Кинорежиссер», он, когда в настроении, всех учит, как кино снимать.

— Ну, мы его с собой возьмем, — сказал майор Орландо. — Пусть нас поучит. Не возражаешь, Кинорежиссер?

— Конечно, не возражаю, — вдруг ответил Кинорежиссер совершенно нормальным голосом, хотя по внешнему виду как бы предполагался жуткий дефект речи. — Охотно присоединюсь и охотно расскажу, как снимается кино.

Все вышли со стадиона в количестве шести человек. Вокруг уже имела место ранняя ночь. Решено было отправиться в бар «Аист», а потом в шашлычную «Анти-Советскую», названную так московским народом в связи с тем, что располагается она через дорогу напротив гостиницы «Советская».

Возле шашлычной уже ждал их в своей красавице «Волге» цвета «белая ночь» звезда балета Саша Калашников. Майор Орландо в машине переоделся в тренировочный костюм, который всегда носил с собой в портфеле во избежание недоразумений. Внутрь прошли в обход очереди, через кухню.

— Какая у нас хорошая, большая, настоящая получается дружба, товарищи! — с чувством высказался Велосипедов наемного засмутился.

Борис Морозко посмотрел на светящиеся часы и объявил, что, по его расчетам, в этот момент танки генерала Шарона завершают окружение Пятой Египетской армии.

## Довольно Печальное Событие Или Веский Аргумент

Осень 1973 года завершалась довольно печальным событием. Однако по порядку.

Мы со Спартакком починяли однажды довольно отработанную «Волгу» во дворе огромного, так называемого генеральского дома в районе Песчаных улиц. Происходящее не сулило никаких неожиданностей, за исключением дождя, который ожидался. Починяя аппарат, мы временами поглядывали на небо. По удивительной для ноября голубизне проплывали со значительной быстротой довольно типичные московские тучи с дождевыми внутренностями. Надо было успеть до дождя заменить ступицу и рессору, это по ходовой части, а в моторе, разумеется, напрашивалась замена вкладышей, что, как сами понимаете, не подарок.

У хозяина «Волги» с его гаражом были особенные проблемы. Он был ракетчик в ранге полковника и служил где-то за границей, судя по загару, в Африке. И вот, пока он там загорал на службе мира и прогресса, его женатый сын Виталий выкатил папину «Волгу» из гаража, а туда вкатил свою, вот и возник вечный вопрос «отцы и дети», даже, как говорят злые языки, не без рукоприкладства, в общем, мы починяем машину полковника Шевтушенко во дворе.

Конечно, все производится с максимумом аккуратности, ноль процента загрязнения окружающей среды, все разложено на тряпочках, асфальт чист, никому, тем более детям, не мешаем.

И вдруг появляется преотвратнейшая старуха и начинает базар:

По какому праву здесь расположили свою частную лавочку, жулики, пьянчуги, детям мешаете гулять, сейчас милицию вызову!

Старуха попалась легкая на ходу, настоящая такая ведьма в здоровенном мужском пиджаке с довоенным значком «Ворошиловский стрелок» на загнущемся лацкане, такой сорт старух из комсомолок тридцатых годов.

Спартак вылез из-под машины, вытер руки тряпкой и внимательно посмотрел на старуху. Ой, лучше бы она ушла.

— Бабушка, говорит Спартак со сравнительным спокойствием, — лучше бы ты ушла.

Старуха чуть не задохнулась от злобы:

— Бабушка?! Какая я тебе бабушка, проходимец?! Мои внуки на БАМе работают! Гордость и слава страны! А ну, калымщики, частники, барыги, сворачивайте свое хозяйство, а то по-другому будем с вами разговаривать, шпана проклятая!

Вот такой изрыгает мамаша поток неспровоцированных оскорблений, а затем бьет сапогом по снятым волговским колпакам, и колпаки эти несчастные, все четыре, раскатываются по двору, опадая в лужах. Такая несправедливая мамаша!

Можно понять Спартака Гизатуллина, потому что количество всегда переходит в качество, хотя, конечно, нельзя приветствовать такого подхода к женщине, даже если она в жлобском пиджаке со значком «Ворошиловский стрелок». — Ты, бабка, кончай базарить или пошла-отсюда-к-жуям-со-бачьим-курва-позорная-в-комсомольск-на-амуре!

И Спартак делает к Анне Светличной решительный шаг и решительный жест, явно собираясь дать ей леща. И бабка Светличная, надо отдать ей должное, немедленно понимает намерения моего напарника и устремляется в бегство.

В это время проплывающая над генеральским домом туча закрывает солнце, и старуха в развевающемся пиджаке проносится по двору, как демон слякоти и ненастья!

Туча, впрочем, быстро проплывает, воцаряется голубизна и сияние, ну, прямо Италия, и в этом коротком благоуханий мы слышим баритональный дружеский смех и видим выходящего из-под арки режиссера мирового кино Саню Пешко-Пешковского.

Он приближался, формируя ладонями кашированный кадр, замыкая его то в горизонтальной позиции, то в вертикальной. Он хохотал:

— Ребята, вы меня просто восхищаете! В лучах солнца! Два блондина! Русский и татарин! Стройные советские люди! Мотор! Снято!

Мы его немного приодели. Сейчас он щеголяет в старых милицейских штанах Густавчика, в свитере-водолазке, подаренной Мириам Протуберанц, на ногах крепкие чехословацкие ботинки с байковой подкладкой, это я ему купил. От старой амуниции осталась только куртка студенческого строительного отряда, с ней он не расстанется, во-первых, какие-то воспоминания, а во-вторых, носит в глубоких ее карманах блокноты со сценарными записями, и это как бы символ постоянного творческого процесса. Интереснейший оказался человек наш новый друг Саня Пешко-Пешковский, и, между прочим, у нас с ним обнаружилась одна глубокая общность, в творческом, конечно, смысле.

Пешко— Пешковский окончил ВГИК в разгаре либеральных тенденций и считался одним из самых талантливейших. Других, впрочем, во ВГИКе не бывает. Сразу же запустился с полнометражной картиной о восстании народа в одной буржуазной стране.

Снималась вся эта вакханалия в Ялте, группу Саня набрал молодую и буйную, городские власти были запуганы до предела. Саня хвалился, что во время съемок он фактически реставрировал в Ялте капитализм. Горком в это время работал в подполье, говорил он.

Фильм получился на славу. Насмерть перепуганное начальство немедленно «положило его на полку», а потом, кажется, он и вообще был смыт, то есть изъят из существующей природы.

Саня тогда представил заявку на новый фильм о будущем восстании народа во всем мире. Конечно же, заявку эту зарубили и посоветовали молодому режиссеру отойти от бунтарской тематики. Вы бы поехали, товарищ Пешко-Пешковский, на целинные земли, в студенческий отряд, посмотрели бы, какими славными делами наша советская молодежь занимается.

Саня внял совету — оттуда вот и курточка — и привез отменнейший сценарий, по которому студенческий отряд превращается в партизанский. Против кого же воюют ваши партизаны? — заинтересовались с понимающими улыбочками тогдашние либералы в ЦК КПСС. Не против кого, а против чего, пояснил Саня, это чисто символическая партизанская деятельность против энтропической идеи. Вы бы лучше отошли от этой тематики, товарищ Пешко-Пешковский, посоветовали либералы, столько вокруг острых проблем, а вы какую-то круглую предлагаете, как бомба.

Наивный наш Саша все-таки полагал себя мастером именно революционных полотен и вскоре вошел в Госкомитет с идеей двухсерийного фильма о восстании не где-нибудь, а просто-напросто... в Москве. Вот такое у нас обнаружилось глубочайшее внутреннее родство!

И так же, как я, Саша Пешко-Пешковский предлагал свое восстание вовсе не против Партии и Правительства, такое, конечно, ему и в голову не приходило бессмысленное, просто, ну, понимаете, ВОССТАНИЕ, мечта, эякуляция, и вообще все как бы в будущем, очень-очень отдаленном, такая как бы научная фантастика, будто бы Москву захватила какая-то нехорошая внеземная цивилизация, ну вот и вроде бы терпели-терпели несколько десятков лет, чуть ли не полную сотню, а потом таксисты взбунтовались, а за ними и все остальные.

На этом в принципе и закончилась Санина кинематографическая карьера. На что руку поднимаете, Пешко-Пешковский? — спросил его министр Романов. На дорогую мою столицу, золотую мою Москву? На все святое в нашей жизни?

Саня, конечно, пытался объяснить, что, наоборот, дескать, оживить хочет славные революционные традиции Красной Пресни и что он вообще против иностранного владычества. Романов тогда рубашку задрал и показал на животе старые раны. И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась ее голова, буйволом заревел министр, бывший цекист. Идите, Пешко-Пешковский, у вас теперь будет достаточно времени подумать, как вы дошли до жизни такой!

Саня к тому времени порядком уже выпивал и был расположен к предельной искренности, вот и начал с трибуны Союза кинематографистов отстаивать взгляды пьющих. Конечно, тут же заведено было на Саню пресолиднейшее бумажное дело, основательно он был взят на крючок, а значит, мой друг, уже вам не место среди бойцов идеологического фронта, среди героев данного фронта Бондарчуков и Ростовских, иди в тыл, «выпадай в осадок», превращаясь в бича, что Саня сделал в общем-то безболезненно.

Однако и в бичевом состоянии видения мятежа посещали Саню не реже, чем раньше, а может быть, и чаще, и он, будучи профессионалом (в самом деле, можно позавидовать систематическому образованию), эти видения разрабатывал профессионально, то есть раскадровывал и подсчитывал, например, метраж, нужный для штурма, предположим, Выставки Достижений Народного Хозяйства.

Вот когда мы с ним впервые увидели друг друга, если помнит уважаемый читатель, на улице Куйбышева, где он мне подтвердил правильность дыры для писем в ЦК, так он там, Саня наш, не просто так прогуливался, а *выбирал натуру*.

Есть, конечно, и негативные стороны в такого рода творческой деятельности — частые задержания охраной правительственных зданий и органами порядка, малоприятные беседы в местах задержания, иногда и физические, такие отвратительные, способы воздействия, разного рода изоляция и административные высылки из столицы, глупо.

— Велосипедов, да ведь это же твое alter ego! Осуществившийся бунтарь! Буревестник контрреволюционной революции! Можно, я его узнаю поближе? Разрешаешь?

— Нет, не разрешаю! Категорически против! — возопил я. — Сколько же можно, Фенька, сколько же можно?!

Девка надулась:

— Да ну тебя, в самом деле! Ты просто, Велосипедов, какой-то паша! Я у Стюрина тогда попрошу разрешения, уверена, что Его Величество не откажет!

Предпочитаю не спрашивать, получила ли она разрешение, ревность в самом деле какое-то унижительное мастурбирующее чувство. Во всяком случае, наши отношения с Саней П-П ничуть не изменились, он стал хорошим другом всей нашей компании, но всем другим, скажу без скромности, предпочитал меня.

Фенька пришла от этой истории в дикий восторг.

Обычно он приходил ко мне утром завтракать и сидел до вечера — читал, спал, кушал, пил напитки, если были, медитировал, если на сухую. На ночь, впрочем, всегда отправлялся домой. Работать могу только в своей норе, объяснял он. У него была комната на перекрестке Ленинского и Ломоносовского, в том доме, где уже пятнадцать лет размещался бессмысленный магазин «Изотопы».

Иногда среди ночи заваливались к нему с Мосфильма старые друзья, ставшие за это время Заслуженными деятелями искусств. Саня развивал им свои идеи, и все соглашались, что он из всех гениев самый гениальный, некоторые даже за ним записывали.

Друзья нередко давали ему денег, чаще всего гроши, но иногда необъяснимо огромные суммы. Деньги Саню не украшали, он становился хмур и груб. В принципе, он не любил денег. И наоборот, в их отсутствие Саня неизменно был ровен и весел, не прекословил судьбе и, может быть, из-за этого получал от нее время от времени непредвиденные улыбки: ну вот, например, освобождение из милиции вместо очередной высылки, встреча с творчески родственным человеком, то есть со мной, или с какой-нибудь девушкой-чудачкой, даже случайные находки на асфальте большого города. В то утро, появившись из-под арки генеральского дома, он закричал на всю Ивановскую:

— Смотрите, что я вчера ночью нашел! В руках у него была большущая копченая рыба, золотистый сазан.

Такое, конечно, могло случиться в Москве только с Саней Пешко-Пешковским, гениальным кинорежиссером. Вчера глухой ночью подгулявшая компания мосфильмовских гениев высадила Саню возле его дома. Он направился к подъезду и по дороге споткнулся обо что-то основательное, думал, дохлая собака, оказалось — копченая рыба. Откуда такой подарок судьбы? Скорее всего, из Каспийского моря. Ночью Саня решал дилемму — самому ли начать употребление рыбы или разделить удачу с товарищами под пиво? Дело в том, что, как он нам позднее признался, его тяготила финансовая зависимость от общества, а рыба могла освободить его от этой зависимости на целую неделю. Теперь уже ясно, какие начала в Сане победили, очень приятно, что не пришлось разочаровываться в товарище.

— Неужели ты хотел лишиться нас на целую неделю своего общества? — удивился Спартак. — Прости меня, друг, но у нас в Татарии таким говорят «ты большая мудака или, иначе, большой жопа». Уж если тебя так беспокоит финансовая зависимость, так давай я тебя обучу починять автомобили, и будешь так же богат, как я или Игорек Велосипедов.

Это предложение Саня Пешко-Пешковский сразу же отверг:

— Нет уж! Я работать нигде не могу, кроме кино. Лучше я буду немного страдать от финансовой зависимости.

Итак, он приблизился и положил на асфальт свой вклад в цитадель дружбы, свою золотую находку, положил скромно и с достоинством, словно первый камень в основание памятника какому-нибудь герою.

— Впечатляюще, — сказал Спартак и дал Сане десять рублей. — Иди, Саня, в гастроном на Соколе, там обещали после обеда подвезти пиво. Бери на все, то есть тридцать бутылок. К тому времени мы здесь зашабашим и все пойдем на тренировочный стадион ЦСКА. Там сегодня играют дубли ленинградского «Зенита» и харьковского «Авангарда», и мы там отлично отдохнем на трибунах с твоим неплохим сазаном.

Саня П— П очень обрадовался, что мучившая его дилемма так легко разрешилась, и весело отправился за пивом. Вот помню, как сейчас, его, будем откровенны, слегка кривоватую фигурку с надписью на спине «Яростная Гитара», вот он идет в стремительно налетающих сумерках и удаляется под арку. Вновь вспыхивает солнце, такие дни в Москве изредка бывают.

Все как — то шло недурно в тот день -и машина хорошо починялась, и упомянутое уже солнце как-то замечательно играло, и поблескивал крутым боком чудесно найденный посреди столичной пустыни Санин сазан, и предвкушался маленький уютный стадион армейского спортобщества, где собираются только настоящие любители футбола, и мне даже казалось в этот день, что я обрел какой-то новый, маленький, но реальный мир, вытеснивший первый мир, огромный, неумолимый, но фальшивый.

— Вот странное дело, — высказался вдруг Спартак. — Тянутся к тебе люди, Гоша Велосипедов. Причина мне не ясна, но до тебя я был практически одинок, а сейчас окружен настоящей системой дружбы. Большое тебе за это спасибо.

— Кончай, Спартачок, — возразил я. — При чем тут я?

— Повторяю, большое спасибо, — сказал Спартак. — С такой системой друзей можно положить на эту Организацию.

Мы работали без перерыва еще целый час и поставили «Волгу» на все четыре колеса, а в моторе оставалось лишь замонтировать головку блока. Тут появился наш заказчик полковник Шевтушенко, он был очень раздражен. Оказалось, что контора «Внешний Подарок» отказалась на этот раз принять у него заработанную за год валюту для приобретения автомобиля «Волга». У вас, сказали там полковнику, по нашим сведениям, уже есть «Волга», а в прошлом году сыну подарили «Волгу», а теперь еще один лимузин хотите — не жирно ли будет? Да ведь за свои же деньги! — вскричал полковник, немного отвыкший от нашего

отечества. Интересно, заулыбались во «Внешнем Подарке», как это смог простой советский полковник заработать за два года на две автомашины?

— Гады, крючковторы, стукачи! — в голосе ракетчика клокотали слезы. — Не иначе как Виталька накатав телегу, сучонок, да я ради этой «Волги» в проклятом Сомали не-пил-не-ел, запонки себе не купил, такие гады без понятия.

— Вышибут вас скоро из Сомали, Шевтушенко, — сказал Спартак и посмотрел на полковника снизу, ехидно оскалившись.

— Все может быть, — сказал полковник. — Все может быть, но только не это.

Спартак захохотал, и я не удержался от улыбки, а полковник, не зная причины нашего смеха, стал нам популярно объяснять, что Сомали — это твердыня мира и социализма, потому что стоит в стратегически важной позиции.

В этот момент солнце опять ярко вспыхнуло, и мы все увидели бегущую на нас старуху со значком «Ворошиловский стрелок» на лацкане пиджака. Правой рукой она на бегу раскручивала авоську, в которой виден был плотный кулек из газетной бумаги.

Это было последнее, что я зафиксировал из сложившейся ситуации — газетный кулек, направляемый неумолимой рукой мне в голову. Кулек был свернут из газеты «Честное Слово», ошибиться я не мог, ибо в глаза бросились черные большие буквы ЕСТ и ЛОВО, а ведь ни у какой другой газеты — ни в нашей стране, ни за рубежом — вы не найдете таких букв в заголовке. Затем последовало ужасное, то, что впоследствии официально называлось «удар кулем по голове». Я потерял сознание и потому не видел последующего, а именно вываливания из кулька предварительно в него завернутого бабкой Светличной (Анной) чугунного утюга, а также не видел и мгновенной реакции С.Гизатуллина, предотвратившего второй удар, да так, что ведьма вlepилась в стенку дома, рядом с вазой.

Очнувшись, я был арестован бойцами БКД вместе с моим дружкой Спартакком, а позднее оба мы были осуждены на десять лет лагерей строгого режима за нанесение ущерба Советскому государству путем физического нападения на депутата Моссовета, старейшую стахановку-ткачиху и трактористку Светличную Анну, легенду первых пятилеток, к тому же еще и Героя Социалистического Труда с золотой звездочкой (пиджак-то в тот раз с «Ворошиловским стрелком» был на ней просто мужний).

Вот таким довольно печальным событием завершилась осень 1973 года.

## Четвертое Тело Велосипеда

Генерал гэбэ Опекун Григорий Михайлович оказался однажды в щекотливом положении. Бывает и так иногда: яйца дело не стоит... нет, что-то не то, как-то не так мы выразились... яйца выеденного дело не стоит — вот так-то лучше, нужное слово поворачивает всю экспрессию в правильном направлении, — а приносит — кто? что? оно? дело? яйцо? — столько хлопот.

Вот осудили двух проходимцев — столица такими кишит, — казалось бы, общественность спасибо должна сказать, разгрузили малость ее — кого? столицу! — а она — общественность, — понимаете ли, забеспокоилась. Чего людям не хватает?

Это же надо, физическое нападение на старую большевичку путем применения насилия! В прежние-п времена за такое-п де-ло-п... — подумал генерал Опекун и сладко потянулся.

А фамилия какая-то иностранная, довольно какая-то Двусмысленная. КТО ему дал эту фамилию? Куратор капитан Гжатский даст четкую справку — церковь! А все же таки Це дило трэба разжуваты.

Генерал Опекун смутно припоминает внешность осужденного преступника, по поводу которого общественность так волнуется. Однажды, за неделю до процесса, Женя Гжатский демонстрировал через глазок. В камере эти двое играли в шахматы. Два блондинчика, один белыми играл, а второй черными, запомнилось четко.

А вообще — то, что за шум, а драки нет, ведь не расстреляли же. Отсидят парни по десятке, выйдут еще молодыми. В Москве, конечно, не пропишем, а вот на Урал, на Волгу, милости просим -работай, живи, дыши! А жизнь-то какая у нас будет через десять лет, к 1983-му, это ж можно себе только представить! Генерал даже зажмурился, вообразив себе витрины магазинов через десятилетие и мельтешение вокруг довольных лиц, масса довольных лиц, счастливых лиц, таких румяных, веселых, веселых, веселых лиц. И вдруг опять засвербило, закололо за воротом — общественность волнуется, нужно меры принимать, нужно что-то делать.

Вся волынка закрутилась после звонка Альфреда Феляева, секретаря по идеологии Фрунзенского райкома столицы. Будь это другой райком, предположим Калининский, можно было бы на такой звонок положить с прибором, но с Фрунзенским шутки плохи — очень уж велик, очень уж богат, на особом прицеле у Центрального Комитета, по значению где-то между Монголией и Азербайджаном, там и творческие союзы все расположены, а в них народишко до сих пор попадаетеся загребистый, приходится пока что миндальничать, да и сам этот кадр, Феляев Альфред Потапович, 1932, уроженец города Грязи Липецкой области, хоть и много на него материала накоплено, а все же — отрицать нельзя — растущий многообещающий товарищ, одна будка чего стоит.

Так вот этот Феляев и поинтересовался пресловутым Велосипедовым. Наведи, дескать, Григорий Михайлович, справки, а то у меня тут общественность волнуется.

Генерал Опекун очень глубоко усвоил первую заповедь чекиста — не отрываться от Партии и потому немедленно распорядился доставить в его кабинет «Дело Велосипедова», потому что, кроме утюга в общем-то, между нами говоря-то, ничего в памяти от этого дела не осталось. Капитан Гжатский от этого приказа явно в восторг не пришел и попросил выделить ему в помощь двух сотрудников. Пока этих сотрудников искали, время прошло, и после того, как их нашли, время еще некоторое прошло, но так или иначе к концу рабочего дня три офицера вкатили в кабинет генерала три специальные колясочки для перевозки личных дел, заполненные папками до отказа. Генерал был впечатлителен. Спасибо, сказал он, хлопцы, вот удружили. Да ты что, Гжатский, полтора-человека, читать это мне все привез? Дай-ка мне фотку и обожди на диване. Остальные свободны.

Генерал считал себя физиономистом и потому долго вглядывался в фото личность преступника. Щеки — запавшие. Глаза — плоские. Общее выражение неутоляемой жажды. Нехорошую диссидентскую личность имел паренек.

Впрочем, даже и в органах встречаются такие похожие персонажи, тот же Женька Гжатский, с такой вот похожей тягой в глазах, только у этого не поймешь — то ли пить хочет, то ли, наоборот, в туалет.

А внешность бывает и обманчива, это закон природы. Вот позавчера, вот именно во вторник, беседовал Опекун с клеветником Протуберанцем. Ну что за внешность у этого оп-оп-оппонента, можно сказать, полное отсутствие внешности, типичный Яков Израилевич. Вот тут вроде бы и применить хорошо отработанный психологический шок. Казалось бы, успех гарантирован, одна только есть опасность — как бы под себя не сходил.

Садись, садись, Яков Израилевич, очень любопытно будет познакомиться с таким героем Би-би-си и радио «Свобода». Хочу вам одну историю рассказать из военного прошлого, извините, просто вспомнилось по ассо... по ассоциации.

Пришлось мне быть командиром партизанского звучения, то есть соединения, и вот приводят однажды мои хлоп-цы с собой предателя родины. Что ж, закон — тайга, к стенке молодчика! Вот так, Яков Израилевич, и запомнилось: белая стена украинской хаты, падает предатель родины, а на стене — пятна, пятна, пятна...

И вот что любопытно: фамилия того предателя родины была — Протуберанц!

Засим по требованиям психологического шока нужно парализовать собеседника соответствующим взглядом, и обычно результаты не заставляли себя ждать.

И что же в данном случае? Сидит Я.И. Протуберанц, улыбается, протирает галстучком очки. А я, говорит, во время войны служил в самоходной артиллерии и однажды тоже был свидетелем безобразного самосуда. Мы стояли в лесу четыре дня без бензина и без пищи, солдаты бесились, и вот однажды набрел на нашу стоянку, как вы выражаетесь, предатель родины. Простите, не хочется вспоминать детали, за исключением одной — фамилия этого местного полицейского по странному совпадению была Опекун... мда-с... увы...

Вот вам и внешность! Оторопь взяла генерала, если уж-строга между нами. Он пробормотал что-то невразумительное в том смысле, что фамилия распространенная, и отпустил проклятого профессора с его невыразительной внешностью. Опыт истории показывает, что с философами всегда была морока.

— Ну а что *вообще-то* с этим Велосипедовым? — спросил Опекун у Гжатского. — Что *вообще-то*?

— Да ничего особенного, Григорий Михайлович, — с досадой пожал плечами капитан. — ну, отказ от сотрудничества... ну, письма дурацкие в главный адрес... Не ожидал, что поднимется такая волна, товарищ генерал. Комитет какой-то возник, письма в защиту, в Нью-Йорке евреи зашевелились... у меня лично нет сомнений, что всем заправляет Протуберанц.

— Это мужик серьезный, — кивнул генерал и потребовал извсей горы основных и сопутствующих справок, характеристик, докладных записок и доносов извлечь главный оперативный журнал.

Как же все-таки получилось, что А.П. Феляев, известный всей Москве по кличке «Бульжник — оружие пролетариата», принципиальный душитель всего, не относящегося к делу(предоставляем читателю возможность широко толковать это понятие), вдруг позвонил генералу Опекуну по вопросу такого небольшого человека, причем позвонил даже с намеком на некую гуманитарную нотку, во всяком случае, без обычной своей свирепости к классовому врагу? Кто подвигнул его на это? Ведь не могла же самому идеологу прийти в башку такая идея?

Конечно же, конечно, кем-то была она подсказана, конечно же, не обошлось здесь без друзей несчастного Велосипедова, и первым среди них оказался, как ни странно, молодой балбес Ванюша Шишленко.

Узнав, что бывший товарищ, постоянный в общем-то козлик отпущения для интеллектуальных хохм, после удивительных радиоподвигов стал еще участником нападения на партийную старуху, Ванюша преисполнился вдохновения и отваги и для начала основал «Союз борьбы за освобождение Игоря Велосипедова из Лефортовской тюрьмы». С членством было не густо — он сам да два ассоциированных: Фенька Огарышева и Валюта Стюрин. Все остальные были в ужасе, в шоке, только лишь делали, что шептались: бедный, бедный, бедный Велосипедов.

Сначала Ванюша обдумывал план нападения на Лефортовскую тюрьму с помощью динамита, прорыв, освобождение Игоря и Спартака, побег на Памир. Продумав этот план, он его временно отложил и обратился ко второму варианту, к классному товарищу Вове Короткову, который только что женился на дочке тов. Тимошина, помощника члена Политбюро Тимофеева.

Нелька Тимошина, первоклассная была девка, с хорошо отстоявшимися антисоветскими взглядами, взялась тогда за своего папашу: выручай, дескать, Велосипедова, Феньки Огарышевой любовника, иначе захипую до упора. А вот если поможешь, папаша, тогда сдам экзамен по марксизму и обойдусь без «ядовитых бессмысленных шуток провокационного характера». Тов. Тимошин, соблазненный такой перспективой, позвонил тогда Феляеву (в границах Фрунзенского района разыгралась драма) и попросил навести справки, потому-де, что общественность волнуется.

Феляев пообещал, но, конечно, опираясь на свой партийный опыт, стал это дело тянуть, запомнив, однако, на всякий случай формулировочку «общественность волнуется».

Невыполненное, однако, обещание висело на Феляеве, Угнетало, а тут еще старая ведьма Аделаида внесла свою лепту, подложила, конечно же, крысу. Хочу, говорит, поделиться с вами разговорами товарищей во время ожидания приема. Тема одна, Альфред Потапович, Велосипедов. Не сходит с уст.

— А с чьих, чьих уст-то? — поинтересовался Феляев. Поконкретней-то нельзя ли, Аделаида Евлампиевна?

С различных творческих уст — Феляеву показалось даже, что в голосе лошади впервые появились какие-то женские нотки — ну, как же, как же, Альфред Потапович, с хороших наших уст не сходит вопрос! Вот и драматург Жестяно, только что вернувшийся из США, и Натали Иммортельченко, третьего дня из Японии, целых пятнадцать минут, пока вы с Олегом обсуждали (быстрый многозначительный взгляд), пока вы обсуждали предстоящий семинар в Гурзуфе, только и говорили о Велосипедове. Газеты там о нем пишут. Может быть, соединить вас с товарищем имя это в райкоме произносилось одним лишь легким шевелением губ — Опекуном?

Феляев (у него истекла сегодня трехдневная «завязка», и он был сух, наблюдателен и зловещ) внимательно посмотрел на свою секретаршу, отметил на будущее пока непонятное, но очевидное волнение старой сволочи и пожевал губой. Значит, волнуется общественность? Любопытно. Значит, общественность, по вашим словам, Аделаида Евлампиевна, отчасти взбудоражена? Хорошо, Аделаида Евлампиевна, я вам скажу, когда соединить меня с О-е-у-ом, идите.

В дальнейшем, однажды ночью, два очень похожих женских голоса разбудили Народного артиста СССР Сашу Калашникова.

— Саша, Саша! — зывали они. — Спасайте! Спасайте! Занятно, подумал артист спросонья, женские крики в ночи, просьба о помощи двух женских персон, что же — сейчас это называется «спасайте»?

— Саша, — сказали женщины, борясь с рыданиями. — Это Ада и Гриппа.

Не было таких, в замешательстве подумал мастер прыжка, в последнее время как будто таких не было.

— Саша, разве вы не в курсе? — стонали между тем сестры Тихомировы.

Они решились на этот звонок только лишь после распития бутылки выдержанного портвейна «Мечта поэта», взятого Аделаидой в их буфете, сладчайшего партийного портвейна, на этикетке которого, между прочим, была изображена очаровательная с маленьким ротиком блондинка образца 1946 года, не кто иная, как мама Игоря Велосипедова, краснодарская Сильва, но сие сестрам было неведомо.

— Разве вы не в курсе, Саша, что Игореша попал в беду?

И, перебивая друг дружку, сестры стали рассказывать Калашникову о трагическом недоразумении (Аделаида) и о грубом нарушении гражданских прав посредством утюга, завернутого в газету «Честное Слово» (Агриппина).

Только тогда Саша Калашников сообразил, кто ему звонит среди ночи.

Единственный, кто может его спасти, это вы с вашим огромным художественным авторитетом! Ключи к этому делу у двух людей, у Феляева Альфреда Потаповича (он не сможет вам отказать) и еще у одного человека...

— Имени которого нельзя называть, — прошептала в трубку Аделаида.

— Кагэбэшника, — уточнила Агриппина.

— Лады, — сказал артист, — попробую что-нибудь сделать. Феляеву, конечно, звонить не буду, много чести, а вот с другой стороны, дорогие мои дамы, попробую позондировать.

А между тем, лишний раз подтверждая, что «есть еще женщины в русских селеньях», и Ефросинья Огарышева, печаль велосипедовских очей, не сидела сложа ноги. Выгнав Валюшу Стюрина, отправив его временно к корням генеалогического дерева, девка нарисовала у себя на щеке желто-зеленый цветок и отправилась к своему «мастеру», Народному художнику СССР Гвоздеву, слюнявому безобразнику из старой гвардии.

Этот мерзавец, навалявший за свою постыдную жизнь не менее двух сотен Сталиных и полтыщи Лениных, конечно, был чужд малейшему человеческому побуждению. В обмен на возможную помощь он, конечно, стал у Феньки выторговывать некоторую очередную гнусность.

— А какую же помощь, старая жопа? — спросила Фенька, стаскивая уже джинсы.

— На Олега выйду, деточка, — сотрясаясь от ожидаемого и опадая слюной на бухарский ковер, пообещал маэстро. — На знаменитого дизайнера, киска, прошлогоднего лауреата, ближайшего друга самого Альфреда Феляева.

— Бух-бух! — сказала тогда Фенька и натянула джинсы на прежнее место. — Как только раньше в голову не пришло?! Да я и сама на этого Олежку выйду. Пока, геморрой!

Вот так Ефросинья Огарышева загубила свое высшее образование, но зато на следующий день Альфред Феляев под давлением взволнованной общественности позвонил генералу Опекуну.

Особенно — то долго копаться в оперативном журнале генералу Опекуну не пришлось. В целом довольно быстро сложился перед ним контур преступника. К перу, понимаете ли, потянуло Велосипедова, воображение нехорошее разгулялось, такого рода истории, к сожалению, получили в последнее время большое распространение, обратные результаты всеобщей грамотности, стонет бумагою наша территория. Можно было бы на это и посмотреть сквозь пальцы, но вот отказ от сотрудничества — это и в самом деле более серьезное прегрешение. С этим что-то надо все-таки делать. Народ разбаловался, идеологическая работа расхлябалась. Когда-то товарищ Зиновьев, не реабилитированный еще ленинец, в открытую говорил, что каждый советский человек должен стать чекистом, а сейчас вот мы чего-то стесняемся. Однако если все чекистами станут, то не пострадает ли от этого наша секретность, вот в чем вопрос. Генерал задумался над этим теоретическим вопросом, а потом спросил Гжатского: кто у нас там «ведомый» в этой секции поршней Моторной лаборатории

Министерства автопромышленности? Оказалось, что из восемнадцати сотрудников секции двенадцать «ведомые».

Хм, подумал генерал, а не перебарщиваем ли? Не великоват ли процент? На кой нам все-таки хер столько «ведомых» в поршневом-то деле? Ведь поршня же — она и есть поршня, ходит туда и обратно, ни убавить, ни прибавить.

А с другой стороны, похвальные все-таки результаты, из восемнадцати человек двенадцать наши, и только на тринадцатом досадная осечка.

В принципе, если все население будет у нас на крючке, то есть если каждый будет оперативным образом оформлен как обязанный сотрудничать, то в целом получится совсем неплохая картина. Населению это, безусловно, пойдет на пользу при том, конечно, условии, если оно не будет об этом друг другу говорить, то есть если у каждого в душе будет храниться такая хорошая тайна.

Вот важное теоретическое дополнение к призыву товарища Зиновьева. Полное членство и личная тайна. Опекун записал в календаре формулировку. Надо довести результат моего мышления (или мышления) до сведения теоретического руководства.

В этой связи такое вот безобразное велосипедовское увливание недопустимо и должно быть наказано, но... но если проклятая общественность... как бы узнать, кто звонил Феляеву, ведь не сам же, в конце концов, стал таким гуманистом...

Вдруг вся эта система генеральских размышлений была остановлена звонком телефона, причем не через секретаршу, а прямо на столе, не самого важного, но второго по важности.

Присутствующий при всей этой нудной сцене капитан Гжатский не без удовольствия отметил, что Опекун, массивный, стабильный и будто вылепленный из хозяйственного мыла, слегка вздрогнул. Если уж не от вертушки вздрагивает, подумал наблюдательный капитан, а от *второго*, значит, где-то печет.

— Здорово, батько! — сказал в трубке хмельной страдающий голос. — Узнаешь?

— Как не узнать, — медленно, с многомысленной угрозой, подобной надвигающейся буре, проговорил Опекун.

Женя Гжатский не мог не восхититься. «Так сказать! — подумал. — Вот это опыт! Многим стоили жизни эти интонации».

— Как не узнать, — с еще более чудовищной интонацией повторил генерал, как вдруг и в самом деле узнал голос, называвший его «батькой», хотя прежде никогда не звучало в этом голосе ничего похожего на похмельные муки, но только лишь вечное, взведенное, как курок, нахальство.

Гринька Шевтушенко, «сын полка» в лесах Украины! Бывало, отпускали его, шестнадцатилетнего ординарца, в одиночку в Винницу на ответственное задание. В мягкой шляпе, с полицейской ксивой в кармане. Гринька подшвартовывался на вокзальной площади к блядам-профессионалкам, приглашал погулять на даче с большим начальством, сажал дурочек в «Хорьх», увозил в темноту. Девчата, конечно, предвкушали штурмбаннфюреров, а их в лесу «народные мстители» ждали. Ни разу не прокололся Шевтушенко, всегда четко выполнял ответственное задание, за что и был удостоен высокой правительственной награды.

Вот как раз тройку лет назад, а именно в среду в 11.30, генерал Опекун проводил семинар с отъезжающими в братскую Сомали боевыми ракетчиками и на том семинаре опознал своего верного Гриньку в чине подполковника, там и обменялись телефонами — давай как-нибудь посидим, вспомним прошлое.

В самом деле, потеплело на душе...

Вспомню я пехоту  
И вторую роту,  
И тебя за то, что дал мне закурить...

— «Как живешь, подполковник? — Опекун не без удовольствия вспомнил длинную мосластую фигуру в мягкой шляпе с фрицевской сигаретой в углу рта.

Давай закурим,  
товарищ, по одной,  
Давай закурим, товарищ мой...

— Полковник, товарищ генерал, — поправил полковник. Так как же жизнь молодая, полковник? — повторил свой вопрос Опекун.

— Похвастаться не могу, Григорий Михайлович. Сын у меня растет — настоящий враг.

— Антисоветчик?

— И не без этого. Однако я к тебе сейчас по другому поводу звоню. Друг у меня в беде, некто Велосипедов Игорь Иванович, 1943 года рождения.

— Велосипедов! — вскричал генерал Опекун, и даже не будет преувеличением сказать, что не вскричал, а взревел: чего-чего, но этого не ожидал от Гриньки Шевтушенко.

— Так точно, а с ним Гизатуллин Спартак Файзулович, одногодка. Вот мы сейчас тут трое стоим и все переживаем за эту пару молодых специалистов, просим смягчения приговора, освободи, батько. товарищей.

— Где это вы стоите? — спросил генерал Опекун.

— Возле гастронома у Сокола, Григорий Михайлович, стоим, голос Шевтушенко при этих словах как будто слегка повеселел.

— Кто это вы стоите? — спросил генерал.

— Лично стою я, полковник Шевтушенко, рядом со мной стоит майор милиции товарищ Орlando, также присутствует выдающийся советский кинорежиссер Саня Пешко-Пешковский. Все трое просим снисхождения к несправедливо осужденным. Поможешь, батько?

— Да конечно же помогу, — сказал генерал Опекун. Что с людьми делается в этом городе, подумал он. Просто сущий бедлам. Куда наша медицина смотрит?

— Не волнуйся; Гринька, разберемся, лично вникну. А ты бы зашел, Гринька, между делом, заходи без церемоний. Заходите, ребята, все трое заходите, поговорим, подышим, обо всем как следует поговорим, цэ дило трэба разжуваты, не забыл еще украинскую мову, и о сыне твоём поговорим в рамках задач современности, в общем милости просим, жду всех троих, пропуска будут заказаны.

Повесив трубку, генерал Опекун записал указанные три фамилии и перекинул листок Гжатскому — на компьютер!

— Я могу идти? — спросил капитан.

Опекун на него внимательно посмотрел. Он ему не нравился: новая формация, жилистые, пружинистые, хищная рыба-пиранья, да и только, дай таким руку, в мгновение ока отгрызут по локоть. Поборов неприязнь, спросил отеческим тоном:

— Ну а ты-то сам, Женя, что думаешь об этом своем подопечном Велосипедове? Видишь, звонки-то какие — из Фрунзенского райкома, из Министерства обороны... обстановка усложняется... Лично у тебя есть какие-нибудь идеи?

Уж не хочет ли старая лошадь на меня отлягнуть всю эту бредовину, подумал капитан Гжатский. Ведь не может же быть, чтобы он позабыл про историческую резолюцию, про «разобраться». А вдруг и в самом деле позабыл? Любопытное тогда произойдет развитие...

Он открыл было рот, чтобы высказать свое огромное уважение колоссальному опыту Григория Михайловича, но тут же закрыл его в связи с неожиданным в кабинет вторжением.

Вошла, а может быть, и в самом деле вторглась большая очаровательная женщина, личная супруга генерала Опекуна, белокожая чернобровая армяночка Ханук, вошла, шурша перехваченным в талии шелковым платьем, с шубой-чернобуркой на сгибе руки, словом, дыша духами и туманами заграникомандировки.

При виде вошедшей Женя Гжатский вздрогнул и подумал вдруг о ней в старинном стиле: «А почему я до сих пор не ласкал груди ЕЯ?»

— Здравствуй, мое солнышко! — сказала Ханук и поцеловала воссиявшего генерала Опекуна в его большую щеку. — Вуле ву экскьюзэ муа пур неожиданное вторжение? Ах, ты не представляешь, как я устала, Париж такой утомительный...

Если отвлечься от обильных женских прелестей, в ее лице с его маленькими усиками было что-то от императора Петра Великого, но так как отвлечься от прелестей было просто невозможно, то в целом образ удивительной путешественницы дышал обещанием сладких плодов, не уступая в этом и самим предгорьям Арарата.

— ...и йот вообрази, солнышко, сразу после самолета такая неожиданная встреча! Случайно сталкиваюсь лицом к лицу с этим талантливейшим артистом Большого театра, ты его, наверное, не помнишь, а мне он тогда как-то запал в душу... эти прыжки в «Лебедином»!, и потом, ты помнишь, нет, ты, конечно, не помнишь, мы встретили его на суарэ у композитора Салтычкина после премьеры его оратории «Сталинград», ну, в общем, ты не помнишь...

— Помню, детка, — понимающе улыбнулся генерал Опекун.

Как это я не знал? Любопытно, давно ли Калашников ее тянет, подумал Гжатский, сидящий в дальнем углу кабинета и до сих пор не замеченный мадам Ханук.

— Короче, Саша Калашников! — решительно продолжала дама. — Ну, знаешь, как у нас принято в художественных кругах, некоторая экзальтация, немедленно распростертые объятия, какая встреча, откуда, куда, всякие там поцелуи — не волнуйся, солнышко, в щеку, в щеку! — и вскоре Саша уже рассказывает, как он жил, чем дышал без меня, ну, словом, с того вечера у Салтычкина, и оказывается, он глубоко угнетен, ужасно огорчен, он несчастен и жалок до слез. Вообрази, произошло невообразимое — арестован и несправедливо осужден его близкий друг Игорь Велосипедов, известная в артистических кругах мыслящая личность, хотя и абсолютно советский, по словам Саши, а ему в этом можно верить, человек. Нет, невероятно! Это в наше-то время? — последнее слово почему-то получилось с сильным нахиче-ванским акцентом и басом.

— Хлянь, дэтка, — и генералу Опекуну вдруг икнулось родное днепропетровское произношение, что, возможно, было своеобразным проявлением супружеского «интим», — вот, хлянь, — он показал пальцем на запаркованные рядом со столом три картинга, заполненные велосипедовскими бумагами, — вот это, пычка, твой подзащитный Велосипедов, а личность его у меня на столе, и анфас, и профиль, вот, хлянь. Следует заметить, что мадам Ханук помимо деятельности в Движении в защиту мира по совместительству имела еще стол в соседнем кабинете, ее нельзя было назвать чужой в этом учреждении и, следовательно, она имела полное право просматривать бумаги на столе у генерала.

И все— таки Женя Гжатский зафиксировал, на всякий случай, в памяти факт семейственности в доступе к секретной информации, может, еще пригодится для будущих аргументов.

Ханук, присев на подлокотник генеральского кресла, зглянула на фото Велосипеда и едва с этого подлокотника не слетела — кто этот юноша с таким иссыхающим от Жажды лицом, с такими гипнотизирующими глазами? Она прижала руки к груди, забило сердце, произошло головокружение. Почему мы никогда не встречались? Как мы могли не встретиться? От фотоснимка, особенно от профильного, шла на нее такая волна чего-то, такой интенсивный ток поднимался — она даже мысленно назвала это странным словосочетанием «дивный огонь», — что сокрытые в ней вулканы стремительно приблизились к извержению.

— Нет, это невозможно... — прошептала она. — Гриша, ты должен что-то сделать! Справедливость должна... общественность, Гриша, волнуется... посмотри, вокруг только и разговоров что о Велосипеде... при мне у Саши три раза телефон... ну, посмотри на его лицо... разве мог... такой... атаковать старуху?!

Генерал Опекун закричал: образ советской общественности теперь для него конкретно воплотился в образе волнующейся «дэтки».

— Давайте вместе все подумаем, что можно сделать. Суд ведь был, Хануша, наш советский суд. Закон обратной силы-то не имеет. Вон Рокотова и Файбишенко-то когда пересудили по приказу Никиты да шлепнули, какой в мире подняли хай! А если мы сейчас освободим Велосипеда и Гиза-туллина, опять же ж скандал начнется. Где ж, заорут по «голосам», ваша законность? Цэ дило, Хануша, непростое и его трэба разжуваты. Давайте сообща. Женя, подгребай!

Тут только Ханук заметила присутствующего офицера и снова немножко заволновалась. Этот незаметный прежде сотрудник удивил ее сходством с ошеломляющим Велосипедовым. Конечно, о полном подобии говорить не приходится, однако...

Гжатский подгреб в задумчивости. Он уже ясно видел, что генерал полностью забыл об историческом «разобраться», что «общественность» его одолевает и что в настоящий, вот именно в этот удивительный момент судьба Велосипеда может круто повернуть в оптимистическом направлении. И в этот вот именно партикулярный момент все зависит от него, все теперь в руках у капитана Гжатского.

— Под прокурорский надзор взять? — размышлял вслух Опекун. — Эхма, еще залупится Руденко, он у нас такой, эхма, законник. Может, сактировать пацана? А что, неплохая идея, а, Хануша, а, капитан? Чтоб общественность-то успокоить, сактируем ребят как туберкулезников, а потом от греха подальше отправим в Израиль, а? Какие будут мнения, товарищи?

Ханук восхищенно всплеснула руками:

— Умница, солнышко! Если хочешь, я сама проведу беседу с этим заблудившимся человеком!

Она нервно курила длинную сигарету под названием «Больше», откидывала свою пышную, как кавказское лето, гриву, дышала и все больше заполняла собой все помещение.

Чтобы такую фемину отдать Велосипедову, препротивнейшему Гошке? — подумал Гжатский и решил критический этот момент не в пользу обсуждаемой персоны.

— Я хотел бы, Григорий Михайлович, и вы, дорогая Ханук Вартановна, несколько уточнить данную ситуацию. Позвольте напомнить, что дело Велосипедова Игоря Ивановича проходит в свете определенного исторического документа, — он поднял палец к потолку, а затем сделал обеими руками всеобъемлющий жест.

Затем он подмаршировал к средней из трех колясочек и безошибочным движением извлек ксерокопию Гошкиного дурацкого письма вождю с резолюцией в левом верхнем углу — «Разобраться. Л.Б.».

Взглянув на этот листок, генерал Опекун собрал весь свой опыт, чтобы не перемениться в лице, затем закрыл все, что у него было на столе, встал и сказал:

— Пошли обедать в мой буфет, если, конечно, — тут он очень тяжеловато посмотрел на Гжатского, — если, конечно, аппетит в порядке.

— Спасибо, солнышко, — прошептала Ханук.

— Благодарю за приглашение, товарищ генерал, — энергично подтянулся Гжатский.

## Десять Лет Спустя

...и вот я подлетаю к Нью-Йорку. Не хочется вспоминать о тюрьме и о лагере, ничего там, братцы, хорошего нету, места, прямо скажем, не достойные проживания. Катастрофически разрушился в местах заключения мой жизненный опыт, но зато я там основательно подучил английский язык, и вот сейчас подлетаю к Америке с катастрофически разрушенным жизненным опытом, но зато с неплохим английским, что лучше в данном случае, не знаю, но доверяюсь судьбе.

Иногда она (судьба) кажется мне полнейшей бессмыслицей, а иной раз мне даже мерещится некоторая продуманность. Ну, посудите сами, почему в лагере соседом по нарам оказался у меня американский шпион Андрей Шульц, который и обучил меня английскому? Ведь я же не знал, что вместе со справкой об освобождении мне будет вручена так называемая израильская виза (о, где ты, наш велосипедовский прохладный Валдай), не знал же я и никогда не предполагал, что буду когда-нибудь подлетать к Нью-Йорку, а она (судьба), как видно, знала.

Простите, тут вставочка про Шульца. Есть приятные новости — его обменяли на одну треть советского шпиона, то есть в том смысле, что советского товарища на трех американцев махнули, такой, говорят, сейчас курс.

Сейчас Шульц уже ритайерд в Бостоне и включился в кампанию за справедливый басинг, не мне вам объяснять, что это такое.

В аэропорту имени Джона Фицджеральда Кеннеди меня встречали Фенька Огарышева, ее муж Валюта Стюрин и их друг Ванюша Шишленко, фактически американский комитет «Фри Велосипедов Инк.» в полном составе.

Что сказать? Она не изменилась, во всяком случае, издали. Впрочем, все на ней стало подороже, и это было видно даже издали — высокие сапоги из мягкой кожи, меховая тужурочка до пупа.

Пока я приближался по тоннелю TWA, она, по своему обыкновению, подпрыгивала, выкидывая то одну ногу, то другую. Клоунская раскраска лица — один глаз обведен зеленым, другой — желтым.

Жарко продышала мне в ухо: у тебя все в порядке? И я, конечно, сразу же понял, что она имеет в виду, и — вот уж не ожидал — немедленно был охвачен хаотическим и бурным кручением «дивного огня». А ведь мне казалось, что после лагеря он уже больше никогда ко мне не вернется, разве что жалким каким-нибудь ручейком, недостойным прежнего наименования.

Весь вечер, невзирая на присутствие мужа Валюши и друга Ванюши, бесконечные переодевания с оголением то одной части тела, то другой, бесконечные порхания, взлетания, бух-бух, дерзкий хохот.

|        |        |              |
|--------|--------|--------------|
| Сифуда | не     | отведав,     |
| Вы     | будете | надут!       |
| Месье  |        | Велосипедов. |

Отведайте сифуд!

И вдруг — истерика! Влепляется в стенку, в ориентальный ковер, и как бы расплющивается, вроде бабочки, и сползает.

Москва моя! Душа моя! Помните, как барабаны бьют — ты самая любимая! Стюарт, неужели ты не понимаешь?! Я не могу больше! Не могу! Тридцать лет! Ой, мамочки, ой, мамочки, смерть дышит на меня, я не могу, не могу, не могу!

Ну хорошо, хорошо, вскакивает Валюша, пусть будет так, как ты хочешь! Мы вот видишь, вот, берем сигары, берем кофе, мы с Ванюшей посидим в лайбрери, а вы тут пока поболтайте с Велосипедовым, хочешь, мы вообще слиняем, подождем в баре... Ну, успокойся же, Фенька...

Он стоит, такой длинный, и руки опущенные дрожат, как у баскетболиста, промазавшего самый последний и самый решающий бросок. Я замечаю у него на темени круглую черную шапочку, вроде бы аккуратную заплатку.

Его величество за шесть лет жизни в Америке стал правоверным иудеем. Что ж, одно другому не мешает, — вероятно, можно быть отпрыском шотландского королевского рода, и одновременно псковским скобарем, и одновременно прорасти палестинскими корнями, история таким странностям очень способствует.

— А я решительно возражаю! — орет Ванюша Шишленко, глядя на цепляющуюся за ковер и хнычущую Феньку. — Пора кончать с этим свинством! Никаких творческих клаймаксов тут нет! Просто распушенность и наглость! Велосипедов, не поддавайся на провокацию! Не ради этого ты десять лет в концлагере горбатил!

В ярости, чуть не плача, он стучит кулаком по столу, швыряет в угол недопитую бутылку шампанского «Мумм», она не разбивается, потому что в углу все мягкое — кожа, бархат, ворс.

— А ты, Ванюша, селфиш! — Фенька направляет на него изобличающий палец. — Эгоист, эгоист, эгоист!

— Я эгоист? Я? Я?

У Ванюши перехватывает дыхание, и он дает себя увести. В глубине квартиры, в библиотеке, включается телевизор.

И вот мы вдвоем.

Я уже забыл, как это делается. Кажется, сначала идут какие-то прикосновения, прижимания, надавливания туда и сюда, слияние ртов, выжидание с замиранием, стягивание, подгибание, разведение, внедрение, обмирание с рычанием и, наконец, — какая ностальгия! — все те же поршневые эксперименты, все те же входящие и исходящие вопросы, смешение четырех начал, народное восстание на западных окраинах имперской столицы, штурм и захват городского аэровокзала.

...о милый, я знала, что ты вернешься, бедный мой, ты совсем облысел... ты спас меня, и я опять молода, завтра начну новую картину... там будет новый пестик, новые тычинки... ты знаешь, я признана гениальной... сам Фродский Джек Ильич писал об этом... не думай, что забыла, я вспоминала о тебе как о человеке московского восстания... бледнеющий образ бумажного солдата... переводная бумажка наоборот... чем больше трешь, тем бледнее черты... ты дошел почти до полного исчезновения, и только... лишь память о конвульсиях во влагалище... остался только лишь контур... космический блу-принт... и новая материализация нас обоих... какое чудо явится с тем же неутомимым другом... кто играет с нами эти игры... вот лабиринт... испарения... желтое и зеленое...

— Ну, как вообще-то жизнь в Америке? — поинтересовался я, пытаюсь привести себя в порядок в том смысле, что найти штаны, отброшенные куда-то в недалеком прошлом, как оказалось, висели на люстре.

Но она уже спала на мягком американском полу, раскинувшись, лежала в существенном беспорядке, то есть в одних только чулках, и на лице ее мерцало кое-что новенькое, а именно горькая улыбка, и вот теперь я видел, что три десятилетия жизни и в самом деле уже

отпечатались на этом лице плюс еще пара морщинок сверх нормы в углах глаз, словом, Фенька стала настоящей красавицей.

Я надел брюки и пошел в глубины квартиры и присоединился там к тем двум, что смотрели телевизор. Первое, что я увидел на американской земле, было «Сикрет оф бьюти, сикрет оф Ойл оф Олэ» [*Секрет красоты, секрет «Масла Олэ» (англ.)*]. Понравилось.

Ну, вот вам Манхэттен. Как это так получилось, что на небольшом острове скопилось товарного брутто и нетто больше, чем на всем пространстве России и Китая?

Я купил себе ковбойские сапоги на высоком каблуке, кожаную куртку, кожаную кепку и джинсы, о, джинсы. Посмотрел на свое отражение в стекле витрины на Пятой авеню и не удержался от вздоха. Вот компенсация за все, а также и за несбывшиеся мои садово-огородные мечтания, можно умирать, компенсация получена.

Валюша Стюрин, который проводил со мной эти покупки, аккуратно собрал все магазинные квитанции, передал мне и сказал:

— Все реситки собирай, пригодятся, когда будешь делать инкамтекскритерн, — такую он произнес загадочную фразу.

Вот кому я особенно благодарен за первые шаги на американской земле — Валентину Исаевичу Стюарту. Хоть и моложе меня на восемь лет, а относился, как отец. — Вообще, Велосипедов... — сказал он.

— А можно просто Игорь? — мягко спросил я.

— Можно, Игорь Иванович. Вот если ты воображаешь, Гоша, что вырвался из бумажного царства, спешу тебя разочаровать, ты попал в другое, бля буду. Каждое утро я выбрасываю целую корзину бумажного хлама, того, что здесь называют «джанк-мэйл».

За эти годы московский этот бездельник стал сказочно богат, а началось все, разумеется, с пары икон из их родовой приусадебной часовни, с нескольких фамильных портретов. Для начала капитала Валюше Стюарту пришлось даже пожертвовать портретом того самого капитана Амбруаза де Спорена, который основал псковскую ветвь династии. Вот вам еще одна ирония судьбы: портрет капитана рисовался за пару талеров в литовской корчме голодным бродягой, а здесь, в Нью-Йорке, эксперты опознали кисть Гуго ван Плюса, талантливейшего ученика из школы Рембрандта, вот кем оказался бродяга.

Вот с этого все и началось, а превратилось сейчас в миллионный бизнес по продаже русских вилок, тарелок, хрусталя, серебра, фабержейских художественных яиц.

Я сначала по наивности не понял, как сказочно богат наш Валюша. Из аэропорта они меня везли на довольно старой автомашине с потертыми сиденьями, а оказалось-то, что едем на «Серебряной тени» образца 1936 года, а такую машину не всякий сенатор может себе позволить, а только такой, кто женат на кинозвезде или имеет семейные сбережения, как здесь говорят, «старые деньги».

Помнится, ехали мы, шутили, такое было чудесное опьянение перед въездом в Нью-Йорк, пели что-то из прежней жизни, комсомольское...

|                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| Едем                          | мы,     | друзья, |
| В                             | дальние | края!   |
| Станем эмигрантами и ты, и я! |         |         |

Вот уж не думал, что с настоящим американским миллионером еду. С капиталистом!

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| Мама,                                       | не | скучай,   |
| Слез  | не | проливай, |
| В Кливленд поскорее с дядей Мишей приезжай! |    |           |

Идея отъезда, оказывается, была заброшена еще с детства радиостанцией «Юность на вахте», слова Эдмунда Иодковского.

Между тем Ванюша Шишленко был почти независим от супружеской пары Стюартов, хотя и жил с ними как бы одной семьей. Он оказался теперь русским писателем и издателем ежемесячника «Все по-старому». Редакция временно помещалась в Ванюшиной однобедренной квартире на 11-й Вест, за которую платил Валюша, что было ему, как ни

странно, отчасти выгодно, неизвестно почему. У журнала был, как пылко заверял Ванюша, очень хороший редакционный портфель. Он всегда носил его с собой.

Очень была ему к лицу большая, в вермонтском стиле, борода, хотя источников своего вдохновения Ванюша в общем-то не открывал, и правильно делал.

Не убавилось у него за эти десять лет и чувства юмора, напротив, есть даже некоторый подскок. Вот протянет иной раз носовой платок и скажет «вытри, с тебя полпот течет», а то о какой-нибудь девушке выскажется совсем уже непонятно — «великолепный Киссинджер».

Журнал «Все по-старому» специализируется на столкновении парадоксальных мнений. Ну, например, в одном номере утверждается, что коммунизм был завезен в Россию евреями из-за границы, а в другом доказывается, что русичи, вятичи, куряне и прочие сами стали строить коммунизм еще с незапамятных времен Малюты Скуратова.

Ванюша сам был автором всех статей, повестей, стихов и крестословиц, хотя и подписывал все это хозяйство разными именами, чтобы создать впечатление шумного журнального коллектива, и это, надо сказать, ему неплохо удавалось.

К моему приезду был заготовлен специальный выпуск журнала под шапкой «Игорь Велосипедов снова с нами!». Был помещен мой снимок времен увлечения джазовой скрипкой, довольно приятный был молодой человек. Здесь же с Удивлением обнаруживаю интервью с моей собственной персоной, взятое корреспонденткой «ВПС» Шейлой фон Комарофф, судя по тексту, великолепной дамой. Там я делюсь также опытом борьбы за хьюман райтс, а также творческими планами, оказывается, собираюсь продолжить работу над капитальным историко-философским трудом «Перечитывая Пельше».

В общем, Ванюша предложил мне пост заместителя главного редактора своего журнала, и это предложение было, конечно, мной с благодарностью принято.

Тем временем Ванюша предложил мне стать их личным шофером. Я, правда, на автоматиках ездить еще не умел, но он сказал: ничего, научим. Миссис Стюарт не возражала, а, напротив, заметила, что мне, вероятно, будут к лицу (?) штаны с лампасами, хотя она настаивает, чтобы один лампас был желтым, а другой зеленым. Это предложение было, конечно, мной с благодарностью принято.

Однажды открываю другое издание, ежедневную нью-йоркскую газету «Прежние русские идеи», и вижу на первой странице объявление:

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ БОДИ ШАП [Магазинавтокосметики (англ.)]. ПРИНИМАЮТСЯ КАРЫ ВСЕХ МЭЙКИНГОВ [Машины всех марок (англ.)]. ЕСЛИ ТЫ ЭКОНОМИЗИРУЕШЬ, НЕ НАДО КОМПРОМИССОВАТЬ [Рисковать (англ.)]. ВСЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ ПОЧИТАЮТСЯ. ГОВОРИМ ПО-РУССКИ. ТЕЛЕФОН ТАКОЙ-ТО. СПРОСИТЬ СПАРТАЧКА.

Вот так встреча! Передо мной расстилалась большая русская земля Брайтон-Бич имени города-героя Одессы. Передо мной стоял старый друг Спартак Гизатуллин, первым преподавший мне урок гражданской чистоплотности.

Мы были в разных лагерях, и я не знал его судьбы. Оказалось, что он просидел всего четыре года, а потом убежал из концлагеря в Мордовии (это было весной, зеленеющим маем, как в песне поется) и под видом немого татарина пересек европейскую часть России в северо-западном направлении.

Перейти советскую границу нетрудно, рассказывает он. «Организация» во всем халтурит. Главное, надо запастись станиоловой бумагой, ну, такой, в какую до Брежнева шоколад заворачивали. Идешь через границу, отрываешь полосочки этой бумаги и бросаешь вокруг себя. Локаторы в радиусе десяти километров начисто вырубаются. Пока они их чинят, ты уже там. А вот в Финляндии, ребята, исключительно опасно — у фиников с советчиками договор о выдаче беглецов, и они его старательно выполняют, постоянно боясь оккупации.

Все— таки «хитрому татарину» (так Спартак сам себя иногда называет) удалось пересечь и Финляндию, на этот раз под видом глухонемого шведа.

Уже в Швеции, отдыхая на прибрежной скале, Спартак заметил в воде какую-то тень и позвал людей. Оказалось, советская подводная лодка класса «Коньяк». Произошел, конечно, большой конфуз для движения сторонников мира, а наш татарин получил премию реакционного шведского Общества Осуждения Подводной Активности в Чужих Территориальных Водах. Премия была небольшая, в том смысле, что могла бы быть и больше, но на билет до Нью-Йорка хватило. И вот теперь мистер Гизатуллин проживает на Брайтон-Бич, производя рихтовочные работы с тем же успехом, что и в Москве, с той только разницей, что ни от кого не прячется.

— Я был уверен, что мы с тобой еще встретимся, Гоша, — проникновенно сказал Спартак, вынимая из холодильника бутылку «Столичной», пару бутылок боржоми, кабачковую икру и охотничьи сосиски. — Ты не женился еще? А вот я в этом деле преуспел.

Оказалось, имеет место весьма интересное пересечение судеб. Не на ком иной женился Спартак, как на дочери нашего бывшего клиента ракетчика Шевтушенко. Женился он, конечно, уже вне пределов лагеря мира и социализма, то есть после побега. Ксюша-то, урожденная Шевтушенко, была предварительно женой другого нашего знакомого, то есть Бориса Морозко, с которым и эмигрировала из ЛМС в конце 1976 года. Увы, человеческая природа с ее недоразумениями продолжается везде, и Ксюша с Борей вскоре сепарейтид, а тут как раз на горизонте и появился наш «хитрый татарин». Итак, живут вместе уже шесть лет и родили двух американчиков — браво, товарищи!

Хочу еще заметить для полного уже восторга, что старый Шевтушенко, выйдя в отставку еще десять лет назад после неудачной попытки моей реабилитации или сактирования по туберкулезу, тоже в конечном счете эмигрировал к внучатам, хотя ему понадобилось для этого забыть все новейшие военные секреты, что, впрочем, было нетрудно, ибо в целях укрепления международной безопасности советское правительство уже дважды обновило арсенал ракет «земля — земля», а старое шевтушенковское поколение мечты мечтателя Циолковского ржавеет никому не нужное на Африканском Роге Сомали, который (-ое, -ая) и сам отпал (-о, -а), конечно, временно, от прогрессивного человечества, вот какое место имело весьма интересное пересечение судеб.

Отставника Шевтушенко вы можете теперь видеть каждое утро на променаде Брайтон-Бич возле гастронома «Москва». Получая вэлфэр от штата Нью-Йорк и пенсию от ФРГ как лицо, пострадавшее от нацизма, он сидит в слингчае, попивает пиво, читает газеты «Честное Слово», «Комсомольское Честное Слово», «Прежние русские идеи», журнал «Часовой», делает в этих органах пометки красным карандашом и окидывает морской горизонт профессиональным взглядом. В свои пятьдесят пять он, конечно, не чувствует себя стариком и подумывает о том, не записаться ли добровольцем в американскую армию. Полное отсутствие внимания со стороны Пентагона его несколько обескураживает. Неужели мой опыт никому не нужен, — задает он вопрос окружающим его евреям. Те пожимают плечами. Поезжайте в Израиль. У многих такие же проблемы. Совершенно никому, например, в Америке не нужны лекторы Всесоюзного общества «Знание», а ведь эрудированный народ. А что вы думаете, говорит Шевтушенко, вот и уеду куда-нибудь в Израиль или ЮАР. буду наемником, высоко оплачиваемым экспертом. Но никуда, конечно, не уезжает.

Ну, а с нашей-то профессией здесь пропасть в общем-то трудно, говорит Спартак. Вначале я, конечно, имел чувство, что вряд ли сделаю концы встречающимися, но потом быстро обнаружил, что могу заработать себе отличный ливинг. Если не возражаешь, друг, давай вместе доллары делать. Теперь идея, друг. Давай купим в складчину джанк-ярд, годится? Мы, с нашим советским опытом, из отбросов таких наделаем фэнсикаров [Шикарные машины (англ.).] — туго!

Однако сначала, поучает меня далее Спартак, нужно тебе выправить вэлфэр [Пособие(англ.)], как моему тестю, не пропадать же деньгам. Я тебе буду платить «кашей», то есть наличными, и от государства будешь каждый месяц иметь чек — неплохо?

Позволь, Спартак. возражаю я, ведь вэлфэр, кажется, те получают, которые уже совсем того, ничего?

— А кто узнает? — возражает Спартак. — Кто и как узнает. Гоша-друг?

— Да ведь это же вроде как обгребка получается? — удивляюсь я.

Спартак вскипел:

— Когда тебя в лагерь запихали ни за что, отняли лучшие десять лет жизни, это не была обгребка? А когда несчастные двести «баксов» ты с них берешь, это, значит, обгребка?!

— Спартак, душа моя! — вскричал я в крайнем изумлении. — Да ведь государства-то разные!

Спартак как-то осекся, будто и в самом деле первый раз до него дошло, что государства-то разные, потом внимательно на меня посмотрел, помрачнел, поскучнел как-то и буркнул что-то вроде:

— Хозяин — барин.

Ну конечно, вэлфэра я не взял, а, напротив, работая оддjobсами [*Случайная работа (англ.)*.] в трех разных местах, так показал в банке свой инком [*Доход (англ.)*], что выписал себе кредитную карточку «Виза». Вот он, символ доверия, — пластиковая пластиночка в плоскости своей не шире спичечного коробка, а в толщине своей не толще и полспички, я в восторге! Как будто сбылись мои молодые бредни о мире, в котором отомрет бумага.

Увы, мой босс Стюарт вскоре меня просветил: после каждого употребления «Визы» забирай одну из трех бумажек с ее отпечатком. Ты, Велосипедов, в американском мире еще салага и не знаешь, что у тебя будет такс-дидактибл и что такс-недидактибл. Собирай все бумажки, бя буду, и складывай все в отдельный бокс, потом разберешься.

Я снял себе квартиру поближе к русским местам, в Куинсе. Квартира однобедренная, что на наш масштаб вроде как двухкомнатная. Она пожирает половину моего дохода, но на вторую половину можно жить, нередко посиживая на своем порче с пивком и хорошей сигарой, позволяя себе такие слабости.

Однажды появляются — привет, товарищи, давно не виделись! — двое аккуратных, ну, явно из органов, или из наших, или из местных: галстучки, атташе-кейсы, пробор-чики через головы, два таких Женьки Гжатских. Обращаются ко мне:

— Brother, are you aware that the ship is sinking? [*Тебе известно, брат, что корабль идет ко дну? (англ.)*.] Оказалось, что это «Свидетели Иеговы» Марк и Франк. Я их пригласил в дом, выставил бутл «Перцовой», закуску, просидели допоздна, философствуя об откровениях Иеговы и нашем, увы, и вправду тонущем корабле.

— Thank you very much, Igor, for the vodka, beer, bread, sausage, cheese and cucumbers, — сказали они на прощание. Это, между прочим, у многих американцев такая манера, перечисляют на прощание все, чем их угощали, — You are an interesting man. People used to know nothing about sinking ships and kicked us out right away [*Большущее спасибо, Игорь, за водку, пиво, хлеб, колбасу, сыр и огурцы... Интересный ты человек. Обычно людям ничего не известно о тонущих кораблях, и они нас сразу под зад коленом (англ.)*].

В другой раз пришел юнец в широкополой шляпе, с шарфом через плечо, ни дать ни взять свободный художник, а как раз и оказался агентом Эф-Би-Ай.

— Would you mind, Mr. Velocity, signing a particular paper, confirming the absence of any connection with the Soviet intelligence service or indicating your connection, — он извлек из-за пазухи длиннейшую бумагу с мелким шрифтом, вздохнул по поводу засилья бюрократии, отыскал в этой бумаге укромное местечко и показал, — right here cross «yes» or «no» and sign here. Thank you so much, Mr. Velocity, I really appreciate your cooperation very much. You are welcome in America! [*Если не возражаете, г-н Велоси, подпишите, пожалуйста, бумагу об отсутствии связей с советской разведкой или о присутствии таковых... Вот здесь, пожалуйста, галочку — «да» или «нет». Благодарю вас, г-н Велоси. Высоко ценю ваше сотрудничество. Добро пожаловать в Америку! (англ.)*].

Затем уехал на чем приехал, то есть, как ни странно, на велосипеде.

И вот с каждым днем я становлюсь все американистей: уже имеется у меня соушел секьюрители намбер (прошу не волноваться, никакого отношения к госбезопасности), уже я член клуба Трипл Эй, уже застраховался по групповому плану в Блу Кросс энд Блу Шилд, книжки получаю из Бук-оф-Симонс, счет открыл в Кэмикл Бэнк, там же и Индивидуал Ритайермент Аккаунт [*Пенсионный счет (англ.)*], надо думать о старости, — и все это хозяйство американской жизни обрушивает на меня каждую неделю столько бумаги, сколько в Советском Союзе и за месяц не наберется.

Философ-социолог Яша Протуберанц объясняет мне все это дело, пока мы с ним отдыхаем в итальянском баре на 34-й улице:

— Русская бюрократия, мой дорогой Велосипедов, стара, тяжела, мучима скрытым комплексом вины. В своем советском качестве она дошла уже почти до полного издыхания. Американская бюрократия молода, вооружена компьютерами, в полном самовосторге продуцирует свои бумажные горы. К счастью, здесь пока что (подчеркиваю — пока что) не поощряют идеологический донос, однако русско-советский донос все же пишется не машиной, а рукой, он все же соединен пусть с ужасной, но человеческой личностью. Вообразите себе

электронного доносчика, дорогой Велосипедов. Если здесь когда-нибудь победит социализм, всем нам, всему гуманитарному человечеству, тогда — шиздец!

— Надеюсь, вы преувеличиваете, Яша, — сказал я.

— Надеюсь, не преуменьшаю, — симпатично улыбнулся старый московский «властитель дум».

Он работает таксистом на здоровенном желтом «Чеккере» и неплохо зарабатывает, во всяком случае, достаточно, чтобы выпускать каждый год здоровенные книги, гвоздить в них марксизм, наводить панику среди профессоров «Плющевой Лиги».

— Профессора эти, асхолы паршивые, сраки! — разоряется Яков Израилевич. — Шита куски, хода мне не дают!

Вот это получается несколько прискорбно, профессор начал основательно сквернословить. Конечно, можно понять, такая работа, и все-таки я вздрагиваю всякий раз, когда философ Протуберанц в манхэттенской пробке высказывается в таком, например, духе:

— Расшиздяи американские, ездить не умеют! Он развелся с поэтессой Мириам и наслаждается сейчас двумя любовницами. Одна из них вьетнамка Кэт Бао Дай, по слухам, незаконная дочь Хо Ши Мина, появившаяся на свет Божий в те времена, когда героический дед имел обыкновение пробираться под видом торговца сандалиями в город, ныне носящий его гордое имя. Родилась Кэт между тем в семье маршала Бао Дая (вот и второе гордое имя), выросла и дралась с коммунистами до последнего патрона на удивление всему ликующему вьетнамскому народу. Сейчас она живет на 42-й улице Вест, в то время как вторая любовь Яши Протуберанца проживает в восточной части этой улицы, что, с одной стороны, удобно, а с другой — усугубляет проблему выбора, не нужно забывать, что расположено между двумя Любовями.

Вторую, черную интеллектуалку, зовут Лиз Луис. С Кэт мне легко, говорит Протуберанц, а с Лиз мне тревожно и радостно. В общем, он счастлив.

А что же Мириам? И она не осталась у разбитого корыта — жены философов, как говорят в Москве, не пропадают. Немедленно после развода она вышла замуж не за кого иного, как за Саню нашего Пешко-Пешковского, гения целлюлозной пленки. Проживают они сейчас тоже в Куинсе, раннинг, как говорится, гросери стор, то есть бакалею-гастрономию под названием «Русское чудо» со специализацией по гречке и балыку. Мириам, конечно, не оставила поэзию и иногда пишет стихи для журнала «Нью-Йоркер».

Oh. my long-awaited animals.  
Let us share our bred...  
Let's blow a horn,  
My husband Mamooth...

[О, долгожданные мои звери.  
Поделим наш хлеб...  
Продуем наш горн,  
Супруг мой Мамонт... (англ.) ]

Это нетрудно, объясняет она? и все-таки поддерживает торговлю.

Что касается самого Сани П-П, то, приехав в Америку еще в разгаре солнечной активности, он умудрился найти дурака, который финансировал его телевизионный фильм о знаменитом восстании студентов Училища имени Мухиной (бывший барон Штиглиц), выразившемся в захвате студенческой столовой для организации бойкота жюльнического меню. «Вилледж Войс» назвала тогда Саню вторым Эйзенштейном, и впрямь наблюдалась некая связь — и там, и там в борще были черви.

Затем солнечная активность стала спадать, нужны были новые идеи, а у Сани, кроме восстаний, других идей не было.

Это мой холлмарк. так объясняет он, ривольты, понимаешь ли, — это моя эстетика, когда-нибудь мир это поймет и за мной прибегут все эти эмгээмы.

В общем, не знаю уж — увы или ура, но Саня — уже не прежний московский бич с галошей на одной ноге и с ке-дой на другой. Вместо «Яростной Гитары» на плечах у него твидовые

пиджаки, на ступнях английские туфли, курит всегда что-то душистое, пилотирует BMW. Что больше повлияло — возраст или благополучие, но изменился Саня разительно, стал мрачноват, немногословен, похож теперь на выездного режиссера с Мосфильма, даже некоторое появилось высокомерие.

— Ну, а как твои революции? — спрашивает он меня вот с этим высокомерием. — Ведь ты, Велосипедов, в прошлом хорошо мыслил, широкими батальными сценами, помнится, поджигал целые куски Москвы.

Я развел руками:

— Все это у меня прошло еще в тюрьме, лагерь завершил дело. Я как-то многое потерял, Саня. Взгляни на меня — я почти лыс. не считать же эти длинные белесые патлы, свисающие с висков. Взгляни, у меня отложился слой лишнего вот здесь, внизу живота, как-то отяжелела попа. Увы, Саня, если и посещают меня сейчас кинематографические идеи, то это большей частью концентрационный лагерь, унылая череда зеков, питание в зоне, картонажная фабрика... Конечно, мой друг, в Америке мы обрели свободу, но в России мы потеряли молодость. Помнишь, как, бывало, собирались и гудели на тренировочном стадионе ЦСКА ты, я, Спартак, Яша, Миша, майор Орландо и иногда Сашка Калашников присоединялся... Нет, этого не вернешь...

— Мда-а, — грустно качал он голову, — отчасти я с тобой даже согласен. Хотя собрать-то народ нетрудно, как раз легче легкого. Вот телефон, вот и собирай. Ну, хоть и не на ЦСКА, то хоть на Янки-Стадион отправимся, пусть хоть не харьковский «Авангард» с дублем армейцев, так хоть «Доджерс» против «Джетс» палками помашут.

— Как?! — вскричал я. — Всю нашу шоблу собрать здесь?!

— Ну, насчет всех не знаю, а Сашка Калашников приедет обязательно.

— Да как так?

— А вот так и так, отстал ты в тюрьме от жизни искусства. Сашка Калашников здесь уже семь лет скачет, соперник Барышникова и Годунова, местная пресса его величает «крупнейшим из ныне живущих русских танцоров». Поначалу, правда, были и у него нелегкие дни.

Когда он заявился сюда из Парижа, вся здешняя «гэй комьюнити» возрадовалась, давай чепчики в воздух бросать — наш, наш! А Сашка, балда, с первого же дня им заявляет: нет, братцы-девочки, я есть стрейт, и никто другой! И вот результат — тотальная обструкция. Даже я ему советовал: что ты, Саша, такой гордый, не можешь махнуть какому-нибудь критику? Или давай пустим парашу, что у нас с тобой роман, и оба будем в порядке, увидишь, перестанем по вэлфэру побираться.

Однако советский артист стоял, как скала, с дерзким лозунгом в руках: «Я люблю свою жену!»

Жена у него, между прочим, контесса Маринальди, свой род ведет чуть ли не от Марка Аврелия. С женьбой этой Калашникову очень повезло. Дело было в Милане на гастролях Большого театра. Довели уже там Сашку намеками на бегство до полного иступления, и он тогда решил: пошли вы к жуям, вот и рвану! Забрал всю валюту и в кабак, давай шампанское сажать бутылку за бутылкой, был признан, окружен поклонниками, истерика, отключка, проснулся у этой контессы в постели, и вместо перебежчика немедленно стал итальянским контом. Отличная, между прочим, была бэ эта Нина Маринальди, на две головы Сашки выше, только нищая, как монах.

Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Сашка наш на своих прыжках стал миллионером и вкладывает капитал в бельгийскую оружейную промышленность, то есть в самый надежный в мире бизнес.

— А как же его взгляды? — спросил я.

Не пострадали. Вступил в Итальянскую коммунистическую партию. Ты слышал их последний лозунг? «Наша коммунистическая партия — самая антикоммунистическая во всем мире!»

Вот уж не ожидал такого чудесного сюрприза — Саша Калашников в Нью-Йорке!

Вот он врывается! Ну, настоящая бомба-звезда, прямо чудится выющийся за ним шлейф. Вот он граф Калашников-Маринальди, бывший секретарь комсомольской организации Большого театра.

— Велосипедов, дружище, помнишь, как эфиром-то продували?!

— Еще бы не помнить!

— Ну, как ты?

— Ну, как ты?

— Джаст файн, конечно, только ревматизм немного беспокоит, слегка снижает прыжок, но в целом, конечно, террифик, террифик!

И я — файн, и я — джаст файн, террифик!

— А помнишь ли сестричек-то Тихомировых, которые нас познакомили?

— Еще бы не помнить! Что с ними?

— Обе здесь!

— Саша, Саша, не слишком ли много сюрпризов? Можно еще понять Агриппину — душа демократического движения, эти стопы свежееотпечатанного Самиздата, загромождающие ее продыmlенную квартиру и создающие пейзаж сродни скайлайну Манхэттена, если смотреть от Лэди Либерти, но Аделаида-то Евлампиевна, пружина идеологического аппарата, подпиравшая весь социалистический реализм Фрунзенского района столицы?... Позволь, Саша, поставить под сомнение... уж не разыгрываешь ли меня?

— Ничуть, ничуть, дорогой мой Гоша Велосипедов. История Аделаиды довольно проста.

...Ее усилия по реабилитации определенного лица, а именно тебя, мой друг Велосипедов, стоили ей членства в КПСС, она была исключена с формулировкой «за бескрылость», к великой радости Альфредки Феляева — помнишь Булыгу? — который тут же расширил свой секретариат тремя девками из молодежного туристического бюро «Спутник».

В общем, пришлось в конце концов нашим русским красавицам вспомнить какую-то свою тетю Золотухину-Гольдштюкер и эмигрировать.

Обе живут сейчас в Нью-Йорке, и обе, вообрази, замужем, чудесно помолодели. Гриппа по-прежнему размножает русскую литературу и неплохо зарабатывает, так что и мужа может содержать, а муж, конечно, гений, пылкий такой мыслитель, поэт, художник, даже мим. каждый день мировоззрения меняет — то мистик, то гностик, она в нем души не чает.

Ада вышла замуж за ветерана американского рабочего движения, который здорово поднажился на риал истэйт [*Продажа недвижимости (англ.)*]. Она печет печенье и возглавляет комитет «Саша Калашников адмайерерс Инк.» [*Объединение поклонников Саши Калашникова (англ.)*] — ну, знаешь, богатые дуры писаются на моих концертах, вопят, в обмороки от восторга и прочее... Между прочим, только благодаря этим бабам я и преодолел тут... хм... некоторую публику.

Хозяин дома Саня Пешко-Пешковский подкатывает к нам столик с дринками.

— Пора уж и вздрогнуть за встречу, мальчики! Гоша, тебе чего?

— Сделай мне «водкатины», Саня.

— А мне плесни-ка «Белой лошади», — попросил Калашников. — Только стрейт, я пью только стрейт!

Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись друг другу не без грусти, после чего хватанули по стакану крепкого.

— Вот ты говоришь «сюрпризы», — проговорил Саша Калашников, закусывая мануфактурой, то есть вытирая губы рукавом, — а главный-то сюрприз ждет тебя за дверью.

Меня прямо оторопь взяла.

— За дверью? Возможно ли, Сашок? Вот прямо там, за этой дверью?

— Открой, — с улыбкой предложил он.

За дверью, руки в карманах отличного серого костюма, жуя чуингам и притворно хмурясь, стоял, конечно, майор Орландо. Увидев меня, он выплюнул резинку и поиграл немного на воображаемом тромбоне.

Вот вам история. На 36-м году своей жизни, то есть в 1974 году, Густавчик нашел своих испанских родителей, проживавших все эти годы по постоянному месту жительства, то есть в Испании, хотя, конечно, точнее будет сказать, что это они его нашли по его временному местожительству, то есть в Советском Союзе.

Его ждало большое разочарование — родители его оказались не совсем теми героями-республиканцами, которые под непрерывной бомбежкой, не выпуская из рук винтовок, передали младенца Орландо советскому моряку. Они как раз оказались рьяными

поклонниками генералиссимуса — нет-нет, все-таки не нашего, своего, сеньора Франко, не к ночи будь помянут, — и членами фалангистской партии.

Майор Орландо, однако, преодолел преобладающее разочарование, вышел в отставку и по прошествии двух лет, нужных для забывания московских милицейских секретов, репатриировался в Барселону, где был некогда рожден в квартире над зубокабинетом, ибо папа — дантист, и откуда был при невыясненных обстоятельствах спасен для советской жизни.

— Что могу сказать о себе, — говорит мне Густавчик, ловко, одним лишь ногтем большого пальца очищая шримпов для огромного каталонского «братского», как он назвал его, салата. — Работаю, Гоша, частным сыщиком, под мышкой всегда пушка с патронами. Запросто покупаю в магазине то, что было раньше несбыточной мечтой, любого калибра, всегда в наличии. Жена по-прежнему хороша собой, есть и личная жизнь, дети растут, русская мама Капитолина Васильевна Онегина собирается к нам по израильской визе, твой кореш Шишленко обещал устроить, климат у нас в Барселоне предостаточный, и вот только ностальгия по России берedit душу, основательное, между прочим, явление.

В связи с этим, Гоша, каждый год езжу в Нью-Йорк, а здесь, чтобы оправдать поездку, работаю у Сашки Калашникова бодигардом. Должен признаться, что стараюсь здесь подольше задержаться, русская жизнь засасывает. Не хватало нам здесь тебя, Гоша, но вот ты здесь, и все в порядке, мы теперь все тут с тобой как бы дома.

Вот и вся история, простая, как река человеческой жизни, и только одного я не понимаю до сих пор — на кой им хрен понадобилось увозить чужого младенца из Барселоны, а если уж увезли, то зачем записали испанцем?

И вот мы все в сборе, вся наша компания, семеро московских ребят, сидим вокруг телевизора и пьем семь упаковок пива. Вот как все происходит в жизни, литературная композиция отсутствует, не говоря уже о логических построениях. Говорят, что именно на четком понимании отсутствия логики сделал свою карьеру генсек Брежнев, наш Леонид Ильич. Наверное, врут.

Итак, все вместе, как в прошлые времена. Есть решение провести весь день по-московски, но, конечно, каждый сомневается, удастся ли возродить тот волшебный дух партизанщины. Увы, здесь для московского мужчины присутствует отсутствие чего-то важного. Взять хотя бы то же пиво. Оно присутствует, и даже, можно сказать, в неограниченном разнообразии упаковок, однако, увы, отсутствует радость его доставания и восторг добычи, когда даже разведенные Софой кисловатые «Жигули» кажутся всем райской прелестью.

Так же обстоит дело со многим другим. Возьмите даже такой русский товар, как сушеная вобла, за которой так все в Москве гоняются, даже и ее навалом в любой русской лавке на Брайтон-Бич, а значит, и здесь отсутствует таинственность. Даже вот и красная икра, даже и она всегда эвэйлэбл, как в цековском распределителе. Вот этот паунд, например, брал я вчера в «Интернашнл Фуд», там кассиршей как раз та тетка работает, которая меня утюгом огрела. Что, спрашиваю, товарищ Светличная, канадская, что ли, у вас икра? Отчего же канадская, обижается Анна Парамоновна, настоящая у нас русская икра, с Аляски.

В общем, присутствует отсутствие. Гош, недоступности, и это как-то всех сковывает.

Мы собираемся ехать на Янки-Стадион, но там, конечно, отсутствуют советские бичи. Конечно, там свои американские бичи присутствуют, но уж очень мало напоминающие вышеупомянутых, а если и попадается персона, похожая на московского бича, то цвет кожи никогда не совпадает, обязательно блэк.

Или взять тех же девушек. В Москве всегда о них мысли появляются после футбола, ну и начинается так называемая кадрейка, которая чаще всего завершается нехорошим, но уж если удача, тогда — восторг! А здесь кадры стоят толпой на 42-й улице, только и покрикивают «комон, хани, война дэйт?» [*Эй, дорогуша, хочешь трахнуть? (англ.)*]. Несколько все от этого тускнеет.

Или вот в глобальном смысле взять Народную Республику Болгарию, из-за которой, собственно говоря, и начались у меня крутые изменения в жизни. Предмет мечтаний на грани яви и сна, солнечны бреги и златы пясцы, все теперь испарилось. Бикоз, друзья, Болгария в моем воображении все-таки была частью Америки, хотя бы умозрительно доступной частью

совершенно недоступной Америки, а сейчас я попросту живу в этой огромнейшей Болгарии, то есть попросту в Америке. Так где же теперь желанная НРБ? Может быть, теперь она стала для меня единственной, хотя бы умозрительно доступной частью России? Однако, странное дело, не тянет уже ни в Болгарию, ни в Россию, хоть и тоскуешь порой по ним, по этим своим восточным отечествам, ведь и Болгария нам отечество, там наша азбука родилась. Увы. это не только наши оказались родины, но и тех, что мучают население своим унылым коммунизмом, от одного звука которого, не говоря уже о запахе, всю нашу компанию воротит.

...Но Болгария все же пропала...

Что происходит тем временем на телевизоре? Встречаются двое, красивых и молодых, в естественном порыве бросаются друг к другу. Вдруг она с отвращением отворачивается: у вас изо рта воняет, мой дорогой. Не приходите ко мне без таблеток «Брис сейверс»! Затем рекламируется китайщина в банках: трай чанг хи фор а бьютифул бади... Потом появляются сифуд-лаверы. с аппетитом кушают крабьи лапы и других приглашают — заходите, а зайти есть куда.

— Эх, американцы-тараканы... — снисходительно улыбается Боря Морозко, бывший московский сионист.

Вот кто замечательно изменился: длиннейшие пушистые бакенбарды делают его похожим на британца периода расцвета Империи, движения стали исполненными значения, рука, направляющаяся, например, за ухо с определенной незначительной целью, привлекает всеобщее внимание, снисходительная улыбка — его трейд-марк. освещенный ею, он поднимается все выше в своих компьютерных исследованиях, в оценке кризисных ситуаций мировой жизни; потому и в Америку вместо Израиля приехал, чтобы лучше помочь человечеству. К американцам Боря относится как к неразумным детям.

— Благодаря этим сифуд-лаверам нас скоро, как креветку, проглотит коммунизм, — предрекает он. — Можете уже представить себя под томатным соусом пролетарской революции. Вообразите, господа, я приезжаю с лекцией в Вашингтон в Центр передовых стратегических исследований имени Теодора Рузвельта, и что же — они там все стоят со стаканчиками шерри и языки чешут. Оказывается, у них два раза в неделю в рабочее время (!) шерри-парти! Меня прямо оторопь взяла — они погибли!

— Ты не западный человек, Борис, потому так растерялся, — одной репликой рубит Морозко майор Орландо.

Снисходительная улыбка мгновенно стекает с лица исследователя.

— Я — незападный человек? Я — незападный человек? Кто же западный человек, если не я?!

— Ты что же, Боря, предлагаешь? — осведомляется Гу-ставчик. — Чтобы они вместо киряния шерри постоянно чистили оружие?

— Да! — завопил тут прежде такой собранный Борис Рувимович. — Да! Да! Да! Они должны постоянно чистить оружие, потому что там постоянно чистят оружие!

— Балони, — возражает майор Орландо и поправляет у себя под мышкой пистолет, — у нас на Западе порядочно людей, специалистов по оружию.

— Мало! — ярится Морозко.

Теперь пришла очередь Густава снисходительно улыбаться.

— Куалититат нон куантитат [*Качество не количество (исп.)*], сечешь, Боря? — улыбаясь, говорит он. — Нас мало, но мы в тельняшках!

Вдруг на экране на пару мгновений из вороха рекламы выскакивает, вернее, выплывает брюхатый питчер Фернандо Валенцуэла и гудящий вокруг Янки-Стадион. Оказывается, матч уже идет, а мы все никуда не едем, а только лишь сидим в креслах с отклоняющимися спинками, сидим со своим пивом, сидим, сидим и никуда катастрофически не едем.

— Так все-таки нельзя, мальчики, — сказал Спартак. — Давайте присоединимся к какому-нибудь кантри-клубу, будем брать гольф, ю гет ит?

Снова замелькало, замелькало, замелькало — геморройные свечи, кремы для вечной молодости, пилюли от запора, собачья еда, однокалорийные напитки, — как вдруг выскочила на экран целая команда спикеров со свежими новостями.

Разрядка снова набирает ход! Первая за долгий срок делегация советских писателей в Нью-Йорке!

И вот мы видим холл отеля «Нью-Йорк Шератон» и всю гоп-компанию в мягких креслах, шестеро мужчин и одна женщина.

Тьфу, тьфу, тьфу, протираю глаза — вся делегация составлена из знакомых — Женя Гжатский сидит, Опекун Григорий Михайлович, который за нами в глазок подсматривал, Альфред Феляев и Олег Чудаков, общеизвестный дизайнер, пара также советских классиков Бочкин и Чайкин и... о, боги Олимпа! — она! — моя мифическая Ханук!

— Эге, вот так рожи, — таково общее мнение.

— Одного узнаю, говорит Спартанок. — Вот этот меня допрашивал.

— А меня вот этот допрашивал, — говорит Яков Израилевич.

— Что касается меня. — говорит Саша Калашников, — то у меня, увы, нет опыта борьбы за права человека. Я просто спал вот с этой дамой.

И он потупился с притворной стыдливостью. «Я тоже с ней спал!» — чуть не вскричал я, но сдержался. Бессонные были, почти фронтовые ночи!

— Как. Сашка, ты спал с Ханушкой?! — вскричал тут, не сдержавшись. Саня Пешко-Пешковский.

— Ханук, Ханук, — вздохнул Протуберанц. — В пятидесятые годы, впрочем, ее звали Дэльвара, она пела в театре «Ромэн»...

— А вот этого пропойцу, — сказал майор Орlando, направляя палец в соответствующий уголок экрана, — я готов опознать под присягой, нередкий был гость в вырезителе номер полста, однако, к его чести, надо сказать, утром всегда первым делом требовал свою лауреатскую медаль и в целом был вежлив, сохранял кое-как человеческое достоинство. Чего не скажешь про товарища Феляева. Палец майора чуть-чуть переместился на экране. Этого один раз забрали спящим под памятником академику Тимирязеву, так потом говна нахлебались, ю кан пот ивэн имэджин, джентльмены, едва все наше подразделение не расформировали за террор против правящего класса.

— А вот этих хмырей не знаю. — Спартак ткнул двумя пальцами в классиков Бочкина и Чайкина.

— Наверное, искусствоведы в штатском. — предположил Калашников.

— Не надо пальцами в них, Спартак. — попросил Саня П-П. — Мы их еще в школе проходили, это же «певцы окопной правды».

— У Чайкина я комнату на даче снимал, когда писал кандидатскую диссертацию, — элегически припомнил Борис Морозко.

Кажется, всем стало грустно. Не лучших посланцев опять выбрала Россия для поездки в Америку, а все-таки и это ведь наши люди, в том смысле, что когда-то недавно мы ведь вместе населяли эту, как недавно поэтишко один советский писал в «Комсомольском Честном Слове» — для кого территория, а для меня родина, сукин ты сын... вот именно эту родину-территорию, сукин ты сын.

Глава делегации, в частности, сказал... Джи, а глава-то делегации не генерал Опекун и не секретарь Феляев, а, оказывается, Женька Гжатский-позорник, вот как товарищ преуспел! Я даже заволновался за знакомого человека, сейчас в лужу бздернет...

Ничуть не бывало... Женька с задачей справился, заговорил на хорошем писательском жаргоне, с мэканьем-бэкканьем, закатывая малость глаза и оскаливаясь на манер Ев-тушенки:

— Где-то по большому счету мы все дети одной планеты, господа, однако мы, советские писатели, не верим в Апокалипсисис ядерной войны.

Совсем неплохо получалось, и мало кто заметил лишнее «си» в вышеназванном слове, а для американцев, в принципе, это не имело значения, потому что их вариант вообще идет без всяких «си», то есть Женька Гжатский спокойно прохилил за грамотного.

Затем советские писатели пропали, и начался рассказ о подготовке к маскараду Хэллоуин, который продолжался тоже недолго, и снова замелькали геморроидные свечи, таблетки дристан. слипиз, шины «Мишелин», кофе-санка, мелькнул среди этого добра и президент Мубарак... Кто-то из нас выключил ящик, и воцарилось молчание.

— Айда, ребята, съездим к ним в «Шератон», пообщаемся! — вдруг предложил Саня Пешко-Пешковский откуда-то сзади. — У них же валютные трудности. Может, поможем чувакам выпить?

Мы все переглянулись и вдруг увидели, что вместо скуч-новатого и положительного «владельца малого бизнеса» посреди ливингрума стоит прежний скособоченный и вечно пьяненький московский бич. Что-то уже начинает возвращаться из прошлого.

Все погрузились в «Чеккер» Якова Израилевича, как когда-то умудрялись втискиваться в его «Запорожец», и поехали по разбитым мостовым, по ухабам Мохнатого, как в русской среде

называют остров Манхэттен.

На этом острове внешне все просто, через камень пробиты прямые стриты, в одном конце их встают восходы в другом садятся закаты, внутри, однако, намного сложнее.

На углу 29-го стрита и Пятой авеню некто в белом костюме и белой шляпе махал белым зонтиком, кричал по-русски:

— Такси! Такси!

— Возьмем чувака?

Взяли. С близкого расстояния оказалось, что пиджак, между прочим, надет на голое тело. Не исключено, что и белые брюки надеты на такое же тело. Фактически и шляпа была нахлобучена на лысую голову.

— «Нью-Йорк Шератон»! — прокричал он по-русски прямо в ухо Протуберанцу...

Поехали дальше, смеясь. Почему вы все разговариваете по-русски? — нервничал наш пассажир. Что это за провокация? Вы что, из советского посольства кагэбэшники?

— А вы кто будете, мистер? — спросили мы его.

— Ха-ха-ха, — был ответ. — Не узнаете? Ничего, скоро узнаете! Чехова тоже никто не узнавал! Островского принимали за купца! Шекспир до сих пор у черни под сомнением! Скоро все узнают!

Возле «Нью-Йорк Шератона» пассажир выскочил из такси, забыв, разумеется, заплатить, а впрочем, возможно, у него и не было таких намерений.

— По-моему, это драматург Жестяноко, лауреат премии имени Ленинского Комсомола, — предположил Яков Израилевич. — В прошлом году он дефектнул из делегации в Риме. В следующий раз, жуй моржовый, так от меня не выскочит.

Нам здорово повезло, едва мы швартанулись, заджэмило по-страшному: возле отеля вся Седьмая была запружена автомобилями.

В толпе преобладали довольно дикие взгляды и косые рты. Высокий серокожий нищий подъехал на роликах к вазе с робким растением, вытащил свое хозяйство и помочился, да здравствует свобода! Из окон полуподвального ресторанчика доносился голос певички, напомнивший мне мою краснодарскую маму. «Частица черта в нас заключена подчас», — пела певичка. Глухо, не в такт, забывая бессмертную арию, стучал барабан.

Поступило предложение предварительно выпить. Предложение принято. Мы спустились в заведение по ступеням, оставляющим желать много лучшего.

Во всех американских ресторанах темень, хоть спать ложись, специально создается такая романтическая атмосфера, в этом ресторанчике было на два градуса темнее, чем во всех. Стоя у бара, мы смотрели на тоненькую в фосфоресцирующем платье певичку. Она напомнила мне мою мать. Я подошел ближе и понял, что не ошибся, передо мной Мария Велосипедова, Заслуженная артистка Адыгейской автономной области.

— Мама, — сказал я.

— Мальчик мой, — шепнула она в ответ, — ты так плохо выглядишь, не называй меня мамой. Я вышла замуж, — она показала на барабанщика. — Это Ясир. Умница, бывший министр, беженец из Республики Сомали и, между прочим, чудесно говорит по-русски, поэтому тише, ревнив, как, ха-ха-ха, ха-ха-ха, как Отелло. друг мой.

Мы вышли из ресторана и направились прямо к отелю.

— Ю готта хэв а рашен тим ин юр хотел, донт ю? [*У вас русская команда в отеле? (англ.)*] — спросили мы у довольно монументального швейцара, напоминающего и внешностью, и осанкой нашего кадровика из НИИ автодорожной промышленности.

— You'd better ask a cop about that folks [*Спроси лучше мента про эту публику (англ.)*], — посоветовал этот товарищ.

Мы повторили свой вопрос устало улыбающемуся полицейскому.

— You, guys, are interested in getting information about those Russians, aren't you? I read you right? Hold on a bit [*Интересуетесь этими русскими, ребята, верно? Подождите чуток (англ.)*], — сказал коп и зашептал что-то в свой уоки-токи.

— Да ведь это же лейтенант Горчаков со стадиона «Динамо»! — прямо ахнул Протуберанц. — Мальчики, посмотрите, это же тот дежурный, у которого я лотерейный билет купил во время войны Иом Кипур. Гадом буду, это он!

Хорошее плотное лицо и в самом деле обеспечивало этому копу сходство с советским лейтенантом Горчаковым.

— Ю мает би лютинант Горчаков, олд чап? [*Вы, должно быть, лейтенант Горчаков, старина? (англ.)*] — спросил копа майор Орландо и профессионально заглянул тому в лицо.

— Sorry, my name is Bob MacGarret, sir [*Прошу прощения. Боб Мак—Гаррит меня звать (англ.)*], — не без обаяния улыбнулся блюстителю порядка и продолжил перешептывание со своими коллегами: — Six or nine, Jack, anyway, no less, than five, no more than ten, I swear... [*Шесть или девять, Джек, не меньше пяти, не больше десяти, клянусь... (англ.)*]

Мне показалось, что это он нас считает по головам, но никак сосчитать правильно не может; такая толкучка была перед входом в отель, что немудрено и ошибиться.

— Jewish toughs? Did I figure you out? — спросил коп майора Орландо. — Gonna pick on those Russians? [*Еврейская порода, да? Правильно я вас вычислил? Хотите потрепать тех русских? (англ.)*]

— Какой я тебе на фер джуиш, — в свою очередь улыбнулся Густавчик. — Ты же знаешь, Володя, я чистый испанец. В общем, кончай выгребаться и признавайся. Таких совпадений в природе не бывает, чтобы на одно лицо и оба в полиции.

— Six [*Шесть (англ.)*], — наконец уверенно сказал в свою ходилку-говорилку мистер Мак-Гаррит.

Одного он явно недосчитался, может быть, потому, что я стоял чуть в стороне и в разговор не вмешивался.

В это время прямо у меня за спиной заговорили по-русски: из отеля вышла советская делегация в полном составе. Генерал Опекун продолжал нечто свое:

— ...а насчет ихнего сельского хозяйства я вот что скажу. Это верно, поля у них ровные, зеленые, однако сильная расовая эксплуатация там процветает. Я лично видел своими глазами — два пожилых негра мотыгами машут, а белый мальчишка, сопляк, в электрической колясочке раскатывает...

— Да это гольф, Григорий Михайлович, — взвыл тут, схватившись за голову, дизайнер Олег. — Гольф это, гольф, гольф, г-о-о-ольф...

Никто из них нас не заметил, все как-то скользили будто бы невидящими взглядами по кишасей разномастными и разнокалиберными людьми Седьмой авеню, одна лишь только Ханук слегка подавала признаки женской жизни, осторожно поглаживая самое себя по бедру.

— Хочу вас предупредить, товарищи писатели, — сказал глава делегации Гжатский. — Есть сведения, что здесь на нас постарается выйти перебежчик Жестянке.

В тот же момент некто в белом на другой стороне Седьмой замахал белой шляпой и завопил:

— Олег! Олег!

Дизайнер Олег тут же рванулся. Булыжник Альфредка Феляев схватил его за талию:

— Олег, ты куда?

— На кудыкину гору! — заорал дизайнер и в хорошем стиле вырвался из партийных объятий.

Его загранпиджак с двумя разрезами замелькал меж ползущих машин. Мгновение, и они сплелись с перебежчиком Жестянко, еще мгновение — и затерялись в толпе.

На моих глазах продолжала развиваться сцена, совершенно исключительная по отсутствию смысла. Советская делегация распадалась на глазах. Видимо, ее охватил тот пожар отчаяния и надежды, который иногда и приводит к крушению имперских систем, который, собственно говоря, и их собственную партию привел к власти.

Хуже всех, видимо, было Альфреду Потаповичу. У витрины магазина радиотоваров корчило его подобие родовых мук.

— Кудыкину? Кудыкину? Кудыкину? — конвульсивно повторял он.

Но никто на него уже не обращал внимания, ей-ей, лучше таким товарищам самим не ездить в загранкомандировки.

Женька Гжатский вычитывал по складам из записной книжицы:

— Ai эм совет спай, ай рикуюэст фор политикал эсай-лам... [*Я советский шпион. Я прошу политического убежища... (англ.)*]

Генерал Опекун продирался сквозь толпу к монументальному швейцару грстиницы и делал ему по мере продиранья все более оптимистические и многообещающие жесты.

Ханук— Дэльвара, конечно, уже хохотала, окруженная группой пилотов компании «Сауди эрлайнз».

Классики Бочкин и Чайкин, делая вид, что все это не имеет к ним. настоящим писателям, никакого отношения, взволнованно, словно после сорокалетней разлуки, беседовали друг с другом. В их сбивчивой речи мелькали слова «Солженицын». «Государственная Дума», «до каких пор»...

В это время для полного уже восторга подъехал полицейский фургон, и несколько копов. все улыбающиеся, стали в него заталкивать наш фолкс, Сашу Калашникова, Яшу Протуберанца, Борю Морозко. Саню Пешко-Пешковского, Спартакча и Густавчика. Лейтенант Горчаков, он же Мак-Гаррит. считал всю компанию по головам:

— One. two. three, four. five, six.» that's it! [*Раз, два, три. четыре, пять, шесть... все! (англ.)*]

И успокаивал:

— Take it easy, guys... nothing to worry about... just checking... You'll be free in half an hour... [*Спокойно, парни... не волнуйтесь... просто проверка... через полчаса выпустим... (англ.)*]

Кто— то, кажется Протуберанц. в последний момент перед посадкой в фургон успел проорать:

— А где же ваша фридом, расшиздяи?!

Суэта перед отелом не прекращалась ни на минуту, а тут еще подъехали два огромных автобуса с японскими туристами. Началась выгрузка чемоданов.

Один лишь я стоял, оцепенев. Один лишь я наблюдал, как исчезают советские делегаты в нью-йоркской ночи, похожей на колебание мазутных пятен.

— А вы раньше где работали? — спросил генерал Опекун у монументального швейцара.

— IBM Company, personnel division [*Компания Ай-Би-Эм, отдел кадров (англ.)*], — сказал швейцар и поинтересовался, есть ли черная икра на продажу.

— Чемодан, — заверил его Опекун и вдруг, сделав не по годам резвое движение, ткнул прямо в меня все еще крепкий, как пистолетный ствол, палец. — Seven! [*Семь! (англ.)*]

И я устремился в паническое бегство.

Гнался ли кто-нибудь за мной, не поручусь, но я бежал, бежал, бежал. Не знаю, страх ли меня подгонял или древняя воля к бегству, или просто ноги мои, на старости лет осознавшие свою прыть, ведь все-таки недаром же некогда в пустоватой богобоязненной валдайской земле некий служка записан был Велосипедовым, видно, служил он своими ногами неплохую службу своему Богу, истории и не покоренной в те времена русской церкви.

Так я домчался до 42-й улицы и на южной ее стороне увидел другого бегущего. Вдоль подмигивающих огоньков порношопов и киношек «для взрослых» несея, как страус, белый юнец-провинциал. Он был без штанов и без обуви, однако в носках и бейсбольной шапке.

За ним валила толпа мировых подонков, не лучшие представители всех человеческих рас — выпученные в жутчайшей радости глаза, обезображенные хохотом пасти, преобладали поджарые и мосластые, но были и жирные, с вываливающимися из лифчиков титьками и мотающимися животами.

Толпа накатывала на мальчика, швыряя ему в спину банки из-под пива...

...WE WANNA GET HIM — HIM — HIM!... [*Держи его! Хотим его!... (англ.)*]

Над нею неслись, словно знамя, стащенные с мальчика джинсы, она накатывала, уже готовая его поглотить, но он из последних сил высоко задирает ноги, в остекленелом ужасе все еще вытягивал, вытягивал, не давая себя пожрать, хотя, быть может, ничего особенного и не случилось бы, отдайся он этой толпе, ничего особенного, кроме издевательства над его половыми органами и задним проходом.

Я перелетел через улицу и помчался рядом с юнцом. Толпа позади взревела еще сильнее от удвоенной радости: она сразу поняла, что я не преследую деревенщину, что я, возможно, и сам такой же деревенский юнец, во всяком случае — дичь, а не охотник.

— Strip the pants off him! Let's get his balls! We wanna chew his balls! [*Стяни портки с него! Держи его за яйца! Давай-ка пожую его яички! (англ.)*]

Я мог бы мчаться быстрее, я — Быстроногов, но тогда отстал бы мой друг, юный мистер Гопкинс из штата Мэн, и они бы его взяли одного, и поэтому я тормозил.

Чья— то жадная южноокеанская рука между тем влезала мне в штаны, захватила, рванула, располосовала пополам, штанины упали, я едва успел выскочить из них, чтобы нестись дальше уже голыми ногами.

— That's fun! [*Ну потеха! (англ.)*] — изнемогала толпа. К счастью, восторг снижал ее скорость.

На углу Сорок Второй и Пятой я решил рвануть вправо, чтобы увлечь их за собой и дать пацану скрыться. Увы, за спиной моей послышался его пронзительный крик. Оглянувшись, я увидел, что он падает на колени перед налетающим траффиком. Тут же кто-то хапнул меня, на этот раз уже за трусы, но я снова успел отлягнуться и рванул дальше. Нечто увесистое угодило мне в спину, между лопатками. Пронеслись мимо приветливые огни нью-йоркской Публичной библиотеки. Сколько там мудрости скоплено! Этот город вовсе не молод. Страна молода, но город стар, недаром здесь всегда пахнет сладковатой гнилью.

Я уверен, что быстрые ноги спасающегося существа в конце концов вынесут его в чистые пшеничные поля Среднего Запада, к коричневым, словно желуди, каменным лбам Юты, то есть на просторы американского здравого смысла. Если, конечно, это существо не споткнется о какое-нибудь лежащее тело.

Я споткнулся о спящего на асфальте араба и пролетел вперед лицом вниз и в ужасе понял, что позора мне не избежать, а в этом возрасте позора уже не пережить.

Вскочив, я рванул на себя стеклянную дверь с надписью TOYS [*Игрушки (англ.)*] и упал внутрь маленькой лавки.

Хозяин, сидевший за кассой, тут же выхватил пистолет и направил — о чудо! — не на меня, а на дверь. Мои преследователи замерли на пороге. Дверь закрылась, упала штора.

Хозяин был китаец, японец или филиппинец, а может быть, беглый вьетнамский белогвардеец. Мы улыбнулись друг другу.

Сверху свисали огромные резиновые и плюшевые игрушки, а также гирлянды масок к здешнему празднику Хэл-лоуин. Я выбрал одну маску, весьма отвратительную, нечто вроде нашей Бабы Яги, но с большими висящими усами, надел ее на лицо и поклонился хозяину. Тот поклонился мне в ответ: есть такие люди, с которыми можно без лишних слов обойтись.

Затем я вышел на улицу. Мои преследователи еще не успели разойтись. Они возбужденными горящими глазами смотрели на меня, люди нью-йоркского этноса, любители фана и кайфа.

— Is it he? [*Этот? (англ.)*] — спросил один.

— No, that man was younger, without a mustache, [*Не тот кадр был моложе и без усов (англ.)*] — сказал другой.

— Gee, this one isn't wearing pants either, [*Ты, без штанов тоже (англ.)*] — сказал третий.

— This man is masked, [*Этот кадр в маске (англ.)*] — сказал четвертый.

— That man was not masked, [*Тот кадр был без маски (англ.)*] — сказал пятый.

— Where is he. that funny one? [*Где же тот гудила? (англ.)*] — спросил шестой.

— Gone [*Слинял... (англ.)*] — сказал седьмой.

И все вдруг разошлись.

Я шел по Пятой авеню и отражался в витринах. Никто в толпе не обращал на меня внимания. Маска, конечно, была отталкивающей, но в толпе попадались лица и похуже. Что касается штанов, то в их отсутствии вообще не было ничего предосудительного. Ведь не за то гнали рыжего простака Гопкинса, что был он без штанов, штаны-то с него сами стащили, а за то, что был не готов к жизни.

Я дошел до Юнион-сквера и там присел на краешек заплеванной лавки. На ней ужинали два черных бича. Они оставили мне почти полный пакетик френч-фрайз и полтюбика кетчупа. Я ел и думал: почему моя родина обошлась со мной столь жестоко, почему так свиреп был прокурор, что же Брежнев-то, выходит, писем не читает?

Над площадью доминировал старинный небоскреб «Утюг». Ну и эстетика! Девятнадцатый век здесь в Америке был, кажется, отчасти безобразен, а с началом двадцатого, увы, вообще полный провал. Вдруг до меня дошло вот чего мне здесь не хватает, в Америке начала двадцатого века, того самого позднего предкатастрофного Петербурга... Странно, вроде бы на фиг русским все эти модеры, ведь мы же неевропейцы, а вот когда в Америке оказываешься — не хватает...

Вдруг женское лицо бросилось мне в глаза, голубое и зеленое. Это было Фенькино лицо. Оно бросалось мне в глаза, но на меня не смотрело. Плоское лицо с афишной тумбы не взирало ни на кого и ни на что, да и вообще глаза у него были слепыми, как у античных

бюстов. Вдруг в затихающем объеме Юнион-сквера увидел я множество этих лиц на разных расстояниях и в разных плоскостях. Словно соединенные невидимыми нитями кристалла, светились повсюду желто-зеленые пятна. Тут я вдруг заметил, что я и ем-то на этом лице, потому что те два щедрых бича как раз и ужинали на сорванном плакате с ее лицом и с уцелевшими буквами ЕХНІВІТ... [ *ВЫСТАВ...* (англ.) ]

Почувствовав жжение в спине, я обернулся и увидел за садовой решеткой слегка скособоченный «Роллс-Ройс», передняя левая — флэт, подозрительный дымок от радиатора.

На подножке машины сидела Фенька и плакала навзрыд. Лица не было видно, оно уткнулось в подол бального платья, я узнал ее голые плечи, они тряслись от рыданий. Желтая муха была нарисована на одном ее, все еще девчоночьем, плече, зеленая — на другом, таком же. Повторяю, хотя не знаю, кому нужен этот повтор, оба плеча содрогались. Я перелез через решетку и подошел к ней.

— Велосипедов, — пробормотала она, — я узнала твои ноги.

— Что ты так плачешь, Фенька, что стоят твои слезы, зачем ты сердце-то мне разрываешь?

— Он умер, — пробормотала она. — Свалил чувак... с концами...

— Кто умер, Фенька?

— Он, геморрой проклятый, мой мастер Гвоздев, уродина, жаба, сталинский жополиз, хрущевский жополиз, брежневский жополиз, ничтожество, трус, стукач... Я никого из вас не любила, только его. Мне еще шестнадцати не было, а он меня на пол повалил и сломал мне там все. С тех пор всегда... вот вижу его дом... выхожу на Маяковке и мимо киосчка «Ремонт ключей», мимо «Табака», а на другой стороне журнал «Юность»... помнишь это место?... там почему-то все всегда друг на друга наталкивались... его дом, красно-мраморный цоколь, две арки, ветер свистит, и все волосики у меня поднимаются... Я плевала в его картины, а он закрашивал плевки... сколько вокруг ленинских рож!... Он рисовал его *для души*, это, мой милый Велосипедов, были порывы вдохновения... У каждого человека должно быть что-то святое, так поучал он меня, а у тебя, Фенька, нет ничего святого... Ленин был его святыней... А Христос? — спрашивала я. Христос — это мода, отвечал он. Видишь, Велосипедов, какое вымирает поколение. Христос — это мода. Ленин — святыня! Вот видишь, какая нынче советчина вымирает! Жадная гадина, он никогда мне не дал ни рубля, он подарил мне однажды коробку с кусочками печенья и огрызками конфет, развратная и грязная тварь, подсовывал своей жене в любимчики... Фенечка — головокружительный талантлик... Да ведь и старым-то совсем не был... ой-ой-ой... ни одного седого волоса, и глазки карие похабненькие... ой, мамочки, не могу... ой, геморрой проклятый, зачем ты сдох?... А если бы ты знал, Велосипедов, как он живопись любил, как он торчал на голубом и зеленом, хотя красным столько мазал... служил своей распухшей революции...

Она вдруг взревела, что называется, белугой на всю Ивановскую, то есть на Юнион-сквер, замкнутый аляповатыми небоскребами той поры, когда не появилась еще на свет американская эстетика. Горизонт по нелепости приближался к Москве. Она выла:

— Ой, Велосипедов, все улетаает... смотри, все втягивается в воронку, заворачивается, исчезает... Уже и Гвоздя нет... Уходит, линяет Советский Союз, ой, Велосипедов, время его прошло... Не могу! Не верю!

Она затихла, когда я стал целовать ее в щеки и уши. Пальцы ее пролезли в глазницы моей маски, касались мокрых мест, то есть глаз. Я сжимал ее плечи, мы держали друг друга, как малолетние брат и сестра. Смыкалось ли над нами пространство Нью-Йорка или необозримо простиралось? Мы были и на дне вулкана, и на пике горы. По краю небес шли чередой отблески огня и мрака.

*Январь — июнь 1982*

*Башня Флага в Смитсоновском здании*

*Вашингтон, Д. К.*

## **Желток яйца**<sup>97</sup>

*ПОСВЯЩАЕТСЯ всем моим котам, включая собаку.*

Вначале был Хаос, и Мрак, и Хмарь,  
Тоскливые бездны Тартара.  
Не видно Земли, не заметно Небес,  
Но вот в глубине, в жалкой пазухе Мрака,  
Возникло яйцо из круженья стихий,  
Это Ночь возложила его, овевая  
Своим соболиным плюмажем.

АРИСТОФАН. «ПТИЦЫ»

## ДЕСЯТЬ МИНУТ ДО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

— Привет, Джек! Сто лет не виделись! Позволь представить тебе нашего почетного гостя, профессора Филлариона Флегмонтовича Фофаноффа, на конце два «эф», разумеется. Мы зовем его «Фил». Фил, не хотите ли познакомиться с Джо Керром? Ой, простите, с Джеком Ротом. Он у нас большой специалист в области перекрестного оплодотворения идей, концепций, замыслов, ротации первичных импульсов воображения... ничего не соврал?...В общем, это прекрасный парень!

— Очень приятно.

— Очень рад.

— Чудный, чудный херес сегодня подают!

— И в самом деле, хорош.

— Посмотрите-ка на Джоселин, не правда ли, она... хм... восхитительна?

— Разумеется, хотя, на мой вкус, слишком приедета. Один только этот непостижимый бант на плече!

— О, вы слишком придирчивы, моя дорогая!

— Простите мне мою расхлябанность, старина, но я только что начал читать ваш трактат, хотя уже чертовски, чертовски впечатлен. Вы замечательно подчеркивали значение согласных, и я с вами абсолютно согласен. Гласные не привносят в текст национальной энергии.

— Подлейте-ка мне еще этого восхитительного напитка. А кто эта девица в лиловом?

— Видите эту французскую пару, все в вельвете? Вот уж всамделишный шик Левого берега Сены!

— Говорят, они только что прибыли из континентального Китая...

— Как? Уйти из Вэ-Вэ и поступить в Эл-Эл-Эл? Никого не нашлось, чтобы ее отговорить?

— Внимание, братцы, кое-что новенькое из Белого дома. Последний советский анекдот.

— Поосторожней с советскими анекдотами. Тут где-то ходит советский советник по садовым культурам.

— Простите, джентльмены, я как раз и есть советник советского посольства по садовым культурам.

— У-у-п-с! А не расскажете ли вы нам, господин советник, о колхозных плантациях мака?

— Не можете ли вы мне сказать, Генри, кто этот трехсотфунтовый толстяк, такой приветливый и симпатичный?

— Да это же почетный гость сегодняшнего вечера, мой старый кореш времен Московской траншейной войны, Филларион Фофанофф, два «эф» на конце, разумеется.

— Уши не изменяют мне? Профессор Фофанофф во плоти?

— Да еще в какой плоти! Зовите его Фил, Раджа. Фил, знакомься, Раджа Саванг, давний друг нашего института.

— Сахару или молока?

— Ни того, ни другого.

— Виски или херес?

— И то, и другое.

— Вот типичный ответ нашего доброго старого Фила. Добрый старый Фил! Первая птичка гласности!

— И все-таки, советская хохма...

— Внимание, советская хохма в японской интерпретации!  
— Ваше Превосходительство, почему у вас такие красные губы?  
— Простите, Хуссако-сан, но вы опять чертовски неуместны!  
— Хелло, Ксан Вьен! Я — Пэтси! Диззиэхэд говорил мне о вас. Похоже, что мы копаем одну и ту же шахту, не так ли?

— Что происходит, в конце концов? Мне сказали, что этот вездесущий аргентинчик должен меня сегодня провожать, а он весь вечер крутится вокруг Ксана!

— Вы должны его простить, моя дорогая, профессиональные интересы. Где еще найдет он человека, что разделяет его взгляды на стратегическое исследование вечной мерзлоты.

— Мисс Янгблэддер, давайте говорить о деле. Вы же не будете отрицать, что уровень участия женщин в наших пополу-денных дискуссиях стабильно повышается!

— Третьего дня, сэр, я наблюдала, как вы катались на коньках. Никогда раньше не видела таких подвижных слонов.

— О, тысяча благодарностей, мадам! Вряд ли вы найдете человека, более восприимчивого к лести, чем я.

— Вы польщены тем, что вас называли слоном, сэр?

— Ну, не очень, мадам, но зато упоминание о подвижности... И кроме того, там, в Москве, а именно в Кривоарбатском переулке, я был известен под кличкой Хобот, что, как известно, является значительной частью слоновьего тела, мадам.

## ПЯТЬ МИНУТ ДО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

— Кто эта девушка в лиловом, что так дерзко смеется над слоноподобным русским?

— Она вовсе не в лиловом, а в сером. У нее глаза лиловые, вот в чем дело. Это Урсула Урис, доктор наук.

— Не говорите мне ни слова о Брендане Мэйписе. Фигурально говоря, он не что иное, как мешок с дерьмом.

— Но зато какой игрок в гольф, сэр!

Вечерний ритуал распития хереса в вашингтонском институте, известном под кличкой Тройное Эл, то есть Линкольн Либерал Линг, или иначе — Либеральная лига Линкольна, был в полном разгаре. Не менее полусотни исследователей с международной репутацией толпились вокруг овального стола, жужжа, как рой трудовых пчел. Дух академического сотрудничества, как мы слышали, явно преобладал над сплетнями.

Можно легко предположить, что никто (или почти никто) в этой славной толпе, так живо потребляющей всеобщую элегантность вместе с потоком традиционного академического напитка, не догадывался, что находится под пристальным наблюдением сверху.

Боже упаси, мы не имеем в виду грозные сферы невидимого, единственное, что мы имеем в виду, говоря «сверху», это один из прихотливых балкончиков, расположенных на разных уровнях под гигантским куполом супермодернистской конструкции, известной в Вашингтоне, округ Колумбия, под кличкой Яйцо. У каждого из этих многочисленных балкончиков было имя или знаменитого мыслителя, или исследователя, и тот, на котором мы расположили двух наших наблюдателей, именовался балконом Ибн Эзры, испанского еврейского философа XII столетия. От случая к случаю он использовался для собраний Генеалогического общества, иногда для тайных свиданий, вносящих дальнейшую путаницу в генеалогию будущего, но еще ни разу для наблюдения за традиционным распитием хереса.

Одним из двух наблюдателей был худощавый молодой человек лет двадцати семи — двадцати восьми, одетый в превосходном стиле площади Дюпон-серкл, то есть в костюм-тройке и стоптанных кроссовках, спецгент Джим Доллархайд, контрразведка ФБР, к вашим услугам.

Вторым был Каспар Свингчэар, начальник службы безопасности Тройного Эл, дюжая, сутулая личность среднего возраста в мешковатых штанах и мятой рубашке, которые, в комбинации с вечно кислым выражением мясистого лица, создавали впечатление вечной мизантропии и неряшливости, то есть лажи.

Притворяясь погруженным в какие-то размышления — неизменная резинка «базука» перекачивается во рту, — Свингчэар старался не обращать внимания на своего гостя, даже мельком не глянуть на его славную физиономию с добродушными, немного рассеянными, однако интенсивно любопытными глазами и с несколько двусмысленной улыбкой, вполне типичной для молодых вашингтонцев, в той или иной степени вовлеченных в секретные операции.

Какого черта этот назойливый малый хочет от меня, думал Свингчээр. Я не отвечаю за шпионов, я отвечаю за огнетушители, разбрызгиватели воды, ловители дыма, пластиковые пропуска, черт бы их всех побрал.

— Перестаньте, Каспар, — сказал спецагент. — Не будьте таким брюзгой. Скажите, что вы думаете об этой симпатичной толпе внизу?

Свингчээр глянул на него искоса, как будто удивляясь: «Почему ты, приятель, не спросишь, что я думаю о тебе?» Потом прорычал:

— Вы имеете в виду эту свору бездельников? Большинство из них — это отходы человеческой расы. Есть только один приличный человек там внизу, замдиректора Пит Клентчиз, да и тот, в общем-то, порядочная свинья.

Молодой сыщик, конечно, знал о том, как унижительно относится начальник службы безопасности к персоналу Тройного и к ученым гостям, а также и прочим «трепачам всех широт», то есть ко всей мировой академической общине. Он выдал ему свою лучшую улыбку, потрепал по круглому плечу и, облокотившись на перила — «не будьте так раздражительны, Каспар!», — внимательно взгляделся в грубое плато этой недружелюбной физии, как бы изучая складку за складкой.

— Но кто же все-таки в этой толпе может быть советским шпионом?

С полным презрением Каспар Свингчээр пожал плечами:

— Да никто! Слишком низкая квалификация для любой ответственной работы.

## КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

— Вы не плеснете еще стаканчик этой амброзии, товарищ-щ-щ? Я знаю, как вы ненавидите наше любимое «Щ», это истинное воплощение русскости, как вас тошнит от этой трехголовой бестии, наверняка предназначенной для разрушения Западной цивилизации...

— Не шутите, коллега. Все на кампусе прекрасно знали, что она спит с защитником футбольной команды...

— Воображаете, носороги!...

— Это чья нога, народы? Камнями по воронам, всех мужиков-свинтусов надлежит истребить!...

— Я вас не вижу, сэр!...

— Не важно. Давайте поговорим, наконец-то, о поз-дневизантийских гравировках...

## ПЯТЬ МИНУТ ПОСЛЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

— Хватит, примите мою отставку, господин президент!

Каспар Свингчээр был сыт по горло: кто еще выдержит этот супермодернистский лабиринт внутренностей Яйца? С мощным фонарем в правой руке и с тяжелым (впрочем, незаряженным) пистолетом в левой, он несся по спиральному переходу имени Герберта Спенсера навстречу воющим сигналам тревоги, пока внезапно не обнаружил себя в абсолютно неожиданной позиции

перед черной дырой тоннеля имени Эдварда Беллами. Голова закружилась от мерцающих, полупрозрачных экранов и стен, пересекающихся лестниц и гибких мембран.

— Фля, иной раз это выглядит круче, чем Корейская демилитаризованная зона.

Система тревоги продолжала выть, и никого, кроме него, похоже, это не колыхало. Безобразные взрывы смеха то и дело доносились из глубины вздорной структуры. Бывший морской пехотинец рванул в тоннель и почти немедленно споткнулся о неподвижное тело.

— Какого черта вы здесь делаете, сэр?! — взревел обеспечитель безопасности. В полном соответствии со своим фундаментальным презрением ко всем «паразитам человечества» он предположил, что кто-то из них так нажрался хересу, что поскользнулся в собственной блевотине. Не менее минуты ушло на то, чтобы сообразить, что это тело ничего не делает в тоннеле имени Эдварда Беллами, ошеломляюще ничего. Все вопросы к этому телу следовало ставить в прошедшем времени.

Свингчээр прижал ухо к спине трупа, а именно к пространству между лопатками — ну, и хрупкие же косточки! — и вдруг его охватило весьма отдаленное воспоминание: Токио тридцать с чем-то лет назад... ему двадцать пять, он в отпуске, из окопов... «Интимный бар», квартал Сидзюко... Кто это был, девочка или мальчик, по пьянке и не разберешь...

Он отмахнулся от этих неуместных, если не постыдных, воспоминаний и начал давить на хрупкую спину — мужскую или женскую, пытаюсь вызвать признаки жизни. Тут подоспел еще один удар по нервам, на этот раз невыносимая вонь. Он отпрыгнул от тела, хотя было ясно,

что не оно было источником вони, весь воздух в тоннеле был вонью. «Эдвард Беллами» разил чем-то неизвестным и непостижимым. Фактически что-то непостижимое было в самом воздухе, и не постичь было, что происходит: то ли просто дуновения непостижимого, то ли падали комья падали из чего-то-ничего, то ли просвистывало что-то-что-просвистывает из падали.

Ему казалось, что он теряет равновесие, через различные треугольные, овальные и серповидные отверстия он видел чистые осенние небеса, звезды и луну, однако луна вроде бы висела не на должном месте, то есть прямо под его башмаками, в то время как через искусственную трещину в том, что предполагалось быть потолком, видны были автомобиль Открытого отряда Секретной службы, белый фургон с надписью «Маляры по радуге и К°», а также и другие фургоны и авто, запаркованные вдоль Вашингтонского мола.

— Теряю баланс! — запаниковал Свингчээр. — Какой позор! Шеф охраны теряет чувство реальности!

Тогда хорошо тренированный морской пехотинец прошлого приказал желеобразному бюрократу настоящего продолжать попытки оживления. Свингчээр повернулся к трупу и снова получил еще один опустошающий удар по нервам: трупа не было. Ничего не было в тоннеле имени Эдварда Беллами, кроме пространства; под лучом его фонаря были лишь невинные плитки пола. Каспар испустил вопль, заглушающий все сигналы тревоги и, что называется, бросился врассыпную через тоннель, пока не вцепился в предмет своей любви и гордости, контрольную панель всего института, порученную его заботам.

Он заметил это сразу — зловещая штука, посторонний предмет торчал посреди этого изощренного аппарата. Давайте теперь раскроем один из секретов Каспара Свингчэара — он любил «это говенное Яйцо» больше всего на свете. Фактически это чувство было единственным, что держало его на плаву в трясине тягостного старения. Этим именно и объясняется то, что он, не раздумывая, немедленно попытался вырвать гадкий предмет, размером не более бутылочного штопора, из своей дорогой панели. Однако как только он протянул руку, поблизости послышался какой-то деликатный шорох, и краем глаза он увидел контур стройной человеческой фигуры, крадущейся к панели, — мужская или женская, призрак прошлого или только что пропавший жмурик?

Фигура протянула руку. Начальник службы безопасности Тройного Эл нырнул вперед и взял запястье руки в стальной зажим. Фигура вскрикнула в стиле чопорной дамы, сдающейся, будто коза под тигром, потом... Свингчээр сам возопил подобно раненому вепрю, его рука оказалась закрученной за спину.

— Спокойно, Каспар, — усмехнулся спецгент Джим Доллархайд, — это всего лишь бутылочный штопор. Кто-то перепутал вашу панель приборов с бутылкой хорошего «порта».

Он освободил руку Каспара Свингчэара и осторожно удалил зловерный предмет из путаницы высшей технологии.

Короткое, как вспышка, лирическое отступление. Алкоголики в СССР издавна называли такие штопоры «спутниками агитатора».

## СВЕТ

Затем двое мужчин пошли вдоль светящихся стен тоннеля подобно персонажам-космонавтам кинокартины «Верный состав».

## ДЕСЯТЬ МИНУТ ПОСЛЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Вид с балкона Ибн Эзры. Следует отдать должное личному составу и ученым гостям центра Тройное Эл: никто из них не покинул увлекательного сборища, несмотря на адский мрак и завывания сирен тревоги. Сцена фактически мало изменилась, если не считать того незначительного факта, что институтский библиотекарь, Филиситата Хиерарчикос, в темноте умудрился оседлать эмигрантского профессора Александра Евтихиановича Пулково-Бредноколесниковского, известного в верхнем эшелоне нашей академической структуры под именем «Ал».

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### Поворотные Пункты

Запару недель до только что описанных событий молодой городской профессионал, то есть типичный американский йаппи восьмидесятых, спецгент Джеймс Доллархайд сидел в своем

офисе в штаб-квартире Федерального бюро расследований, что на углу 10-й улицы и Пенсильвания-авеню, северо-запад столицы нации. Как обычно, он старался изо всех сил не свалиться со своего стула в объятия Морфея. Все вокруг представлялось ему здесь Берлогой Большого Дремлюги, как он описывал свою службу в письмах обожаемой мамочке, Мисс Монтана 1956. Даже компьютер, казалось, звал ему прямо в лицо.

Разве мог Джим предвидеть такое монотонное существование при вступлении в грозную организацию? Все двадцать восемь лет жизни он относил себя к тому, что называл в своем сознании «Молодой мир» — поступал в разные колледжи и линял из них, работал лыжным инструктором, пожарником-парашютистом, барменом и диск-жокеем, пока дружок его мамы, дядя Роджер, через своих ветеранов Корейской войны не устроил его в контрразведку. Джим был в восторге: контрразведка легко вошла в концепцию Молодого мира.

Увы, с тех пор, как подготовительные курсы были окончены и он получил назначение в Пятый подотдел Третьего управления ФБР, прошло уже три месяца, а вся его работа ограничивалась перебиранием бумажек. И хотя непосредственный начальник, старший агент Брюс д'Аваланш, ежедневно подчеркивал исключительную значительность его исследования, он не мог не думать об этом иначе, как о ловле блох.

Целая полка мягких дисков и несколько шкафов с папками — так выглядело десятилетней давности замусоленное дело многонационального запутанного мошенничества. Работа Джима состояла в том, чтобы снять с сотен потенциальных мошенников подозрения в шпионаже, иначе говоря, отделить зерно от плевел, пробить какой-то путь в лабиринте. Дело осложнялось тем, что большинство документов были финансового характера, для Джима — полная китайская грамота, тем более что и немало китайцев было тут запутано. Иногда, особенно к концу рабочего дня, Джиму казалось, что в его работе просто нет никакого смысла, и единственная цель следствия — это топтанье на одном месте. Мамми и дядя Роджер, должно быть, представляли себе не такое будущее для своего Мальца-Молодца.

Второй стол в комнате был не занят уже целый месяц. Спецагент Брендан Разсказ, тот, что сидел здесь до Джима и приветствовал его прибытие, то есть тот самый парень, что показался ему просто мелкой старательной канцелярской тварью, если не просто остолопом, оказался достаточно толковым, чтобы слинять из «поросычьего рая» — выражение, которое Джим подцепил однажды в понедельник утром в туалете своего этажа.

Недавно Джим натолкнулся на Брендана на углу 18-й и Колумбия-стрит, в день этнического фестиваля Адамс Морган. В густой толпе представителей всех мыслимых рас и наций Брендан продавал с лотка любопытный товар — тугие резиновые пружины, похожие на туалетные очистители, но называвшиеся тем не менее «обнежнители мяса». «С помощью этих штук вы можете приготовить филе-миньон из подошвы армейского сапога», — объяснял Брендан.

Ну и дела, как он переменялся! Можно сказать, полуголый, в прозрачной «тэнк-топ» маечке, полностью открывающей мускулистое пузо, с талисманом из Акапулько на шее, загорелый, здоровый и похотливый — ну просто символ Молодого мира!

За тот месяц, что они провели вместе в офисе, Джиму ни разу не пришло в голову никакой, насчет Брендана, шаловливой идейки, теперь же он был почти... почти...

Банг! Легкомысленные воспоминания были прерваны внезапно включившимся интеркомом. Скрипучий голос старшего агента Брюса д'Аваланша: «Привет, Джим. Не хотели бы вы выключить своего грузи-бузи и заглянуть к нам? Да, прямо сейчас. Нет, никаких данных не надо, валите с пустыми руками прямо в кабинет к Доктору!»

Спецагент Доллархайд никогда не полагал себя человеком, лишенным интуиции. Напротив, интуиция всегда была предметом его гордости. Он мог пересчитать на пальцах одной руки те редкие случаи, когда она (интуиция) его подводила. В данный момент она говорила ему, что приближается что-то необычное. Иначе почему махровый бюрократ д'Аваланш вызывает его не к себе, а прямо к Доктору? Больше того, Джиму даже показалось, что в голосе бюрократа промелькнули легкие нотки Молодого мира, некоторый ознобец налетающего приключения.

Может быть, это и есть поворотный пункт его карьеры? Или даже судьбоносный день всей жизни? Нетерпеливо он вырубил свой грузи-бузи, как в Пятом департаменте называли компьютеры, и рванул по прямому коридору к предвкушаемому крутому повороту дороги.

Заместитель начальника Пятого департамента Мэлвин Хоб-Готтлиб предпочитал, чтобы его называли Доктор Хоб. В самом деле, нелегко найти человека, чья наружность еще менее гармонировала бы с концепцией тайных операций. Скорее уж его наружность вызывала в памяти тот урожай чудаков XIX века, к которому можно отнести как Оноре де Бальзака, так и

Альберта Эйнштейна. Верьте не верьте, но Джим Доллархайд однажды даже слышал, как Доктор Хоб насвистывает «Хорошо темперированный клавир».

На этот раз, войдя в кабинет, Джим увидел, что Доктор Хоб сидит бочком у своего стола и рассеянно поглядывает в окно. Его плечи были покрыты похотью, а пузик — пеплом из популярной трубки. Между тем непосредственный начальник Джима, старший агент д'Аваланш сидел за конференц-столом в своей обычной аршин-проглотил позиции, имея на своем правом фланге трех младших сотрудников, Эплуайта, Эппса и Макфина.

— Садитесь, пожалуйста, спецагент, — сказал д'Аваланш, указывая на стул слева от себя, то есть ближе к столу начальника, чем даже он сам был расположен.

— Привет, Джим, — сказал Хоб-Готтлиб, стряхивая свою артистическую задумчивость, — между прочим, как ваш русский на данный момент?

— Добрый вечер, черт бы вас побрал, — тут же отвечивал Доллархайд по-русски. О, эта летняя русская школа в Мидл-бэри, о, эти кусты малины, о, эти восторги по-над ручьем!

Доктор Хоб кивнул не без очевидного удовольствия. Славно, славно, совсем ньет-плохоу, мой многообещающий коллега!

Старший агент д'Аваланш со своим обычным кисло-сладким выражением воспроизвел одно из своих типических высказываний насчет некоторых молодых индивидуумов — в Пятом департаменте шутили, что он, очевидно, и родителей своих именует «парой пожилых индивидуумов», — которые, эти молодые индивидуумы, собственно, не так уж плохи, хотя могли быть гораздо лучше, откажись они от иных соблазнов, ну, хоть немного бы сократились в своей погоне за юбками.

«Мимо цели», — подумал Джим, притворно вздыхая, как бы признавая свое несовершенство — женщины, да-да, проклятые эти юбки...

— Гляньте-ка в это окно, Джим, — сказал Доктор Хоб, показывая своим пальцем, похожим на корень женьшеня, на крыши и башенки Вашингтона. — Вы, конечно, видите этот слегка голубоватый сфероид, эту уникальную структуру, Яйцо, которое не может вам не напомнить живопись Иеронимуса Босха. Отныне эта штука будет основной целью вашей активности.

— Конечно, если вы не... — добавил он быстро, очерчивая фигуру молодого спецагента неожиданно пронизывающим взглядом.

Словно зачарованный Джим смотрел на вершину светящегося Яйца. Внезапно свечение испарилось, склоны структуры угрожающе потемнели, будто покрылись листьями свинца. Что вызвало эту метаморфозу — пролетающее облако или этот чертов дирижабль, рекламирующий шины «Гудиеар», что день-деньской циркулирует по столичному своду небес, будто демон прокрустивации, промедления?

Яйцо... основная цель моей активности... То, что вы делали до этого, Джим, было изнанкой нашей работы. Теперь вы вступаете...

Во что же он вступал, и какова была суть операции ФБР, что стала разворачиваться вместе с сюжетом нашего романа?

— Как вы прекрасно знаете, Джим, — сказал Доктор Хоб, этот город иногда называют Утечкоград. Утечки тут повсюду, стены сочатся утечками, отовсюду течет, иной раз ливнем льет из наших сфер. Утечка — это двигатель здешнего перпетуум-мобиле. Нечего и говорить, наша Утечка вовсю старается утечь за границы страны. Это довольно естественное явление, и поэтому мы не удивляемся тому, что наша Утечка старается слиться с советской Утечкой, чтобы образовать международное содружество утечек, в котором стаи ложных утечек вечно парят над иными весомыми, не особенно ложными.

— Впечатляюще, — пробормотал Джим с благоговением.

— Спасибо, — серьезно кивнул Доктор Хоб. — Итак, давайте выжмем излишнюю воду и подойдем к сути. У нас есть довольно основательная утечка из Москвы. Наши коллеги с Лубянки вроде бы собираются поселить своего «крота» в той самой структуре, которую вы только что лицезрели, то есть в сферы Тройного Эл, Либеральной лиги Линкольна. Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Зачем секретно проникать в институт, который не имеет никакого отношения к засекреченным материалам? Ну, на данный момент мы ничего не знаем об их мотивах, однако по каким-то причинам Тройное Эл их сильно беспокоит, в этом нет сомнения. Да, джентльмены, у Москвы, как говорится, бабочки в желудке летают, когда доходит до этого гигантского яйцеобразного клуба болтунов.

Недавно мы заполучили еще не подтвержденную информацию, что их резидент в Большом Вашингтоне — кодовое имя Пончик — вовсю старается добыть как можно больше

информации о людях Тройного Эл. Больше того, есть утечки, правда, еще легковесные, что они будут подключать к этому делу своего супершпиона Зеро-Зет.

Мы еще должны идентифицировать Пончика и Зеро-Зет. ЦРУ, разумеется, не обращает внимания на наши запросы, ребята из Лэнгли, как всегда, придерживаются своей обычной двусмысленности и вздорного снобизма. Беру на себя смелость предположить, что знают даже меньше, чем мы. В общем, Бюро придется отдуваться за всех...

К этим словам Доктор Хоб прибавил еще несколько своих собственных, что были восприняты всеми присутствующими, кроме Джима, как некая премудрость на латыни.

— Джим, вы, кажется, вздрогнули? — спросил Доктор Хоб. Спецагент Доллархайд потупил глаза.

— Мне очень неловко, сэр, но ваша последняя цитата напомнила мне какие-то восклицания советских хоккеистов на матче дружбы в Монреале.

— Bravo, Джим, это показывает, что мы не ошиблись в выборе. Давайте-ка теперь сконцентрируемся. Вскоре после того, как мы заполучили утечку о намерении Москвы внедрить «крота» в Тройное Эл, мы перехватили еще одну порцию полезной информации. Выдающийся советский ученый-лингвист прибывает сюда следующим рейсом Аэрофлота. Он получил на год стипендию — феллоушип для работы в Тройном Эл. Его зовут Филларион Флегмонтович Фофановф: на конце двойное «эф». Ему пятьдесят один год и он весит триста двадцать фунтов.

Один из троицы Эпплайт — Эппс — Макфин вскочил на ноги, и комната тут же погрузилась в темноту. На стене появился экран и на нем — проекция обсуждаемого господина. Снимок был сделан явно скрытой камерой, однако высшего качества. Потрясающий толстяк стоял один в середине широкой и пустой асфальтовой площадки, создавая впечатление баобаба в выжженной пустыне. Он был, пожалуй, лыс, если не принимать во внимание легкий ореол вокруг темени и другие остатки некогда пышной растительности, а именно кустистые баки и мощную гриву сзади, достаточно неуправляемую, чтобы придать ему сходство с дикобразом. На картофелине носа он носил пенсне, а его непостижимый гоголевский шапокляк был поднят для горячего приветствия кого-то, кто не попал в рамку видеоискателя.

— Да ведь это же новый Пьер Безухов, джентльмены! — вскричал Джим Доллархайд. — Да ведь это же человек Ренессанса!

## Невинные Глаза

Благодаря одному из капризных вывихов современной, или, лучше сказать, постмодерной архитектуры президентский сектор Яйца был выполнен в стиле Викторианской готики с каминами начала XVIII столетия, старомодными лестницами, пилястрами и панелями. Президент института, достопочтенный Генри Тоусенд Трастайм, не делал секрета из своей привязанности к этим помещениям. При всех обстоятельствах они все-таки больше подходили к его происхождению, чем ненадежные спирали, дыры, трещины, трамплины, катящиеся стены и скользящие полы основной части структуры. Долговязый, великолепно седоватый и моложавый пятидесятиоднолетний англосакс мог бы без остановки проследить свое происхождение непосредственно к пилигримам: хотя никогда особенно и не стлался пуститься в это путешествие.

Иногда, впрочем, он думал о целостности тех чистых душ, одержимых только одной идеей — выжить во имя Бога. Каждый прошедший год для них был поводом к скромной гордости. Любой из них мог оглядеть свою жизнь во всей ее цельности от колыбели до могилы. Между тем достопочтенный ПТ испытывал некоторые, и весьма серьезные, трудности, когда пытался обозреть свое существование как жизнь одного и того же человека.

— Возьмите, к примеру, вот этот снимок с моего стола — Золотые пятидесятые, двое в отмытом «Кадиллаке», он и она, чудо-детки, все шестьдесят четыре зуба в хохоте, неудержимый разгул летящих волос. Снялись вскоре после того, как я похитил Джоселин из ее общаги в Свитбрайер-колледж. Я был в пижаме, а она в ночном платье, и мы мчали всю ночь через Вирджинию, Мэриленд, Делавер и Нью-Джерси, пока не примчались в Нью-Йорк, где сняли комнату в «Уолдорф Астория», кот так, не менее, и сходу свалились на ковер в неуклюжем совокуплении. Я просто не могу поверить, что этот проказник, любимец общества, и я нынешний — одно и то же лицо.

Президент Трастайм предавался размышлениям, держа стакан с терпким напитком в одной руке и беспечно расположив остальные конечности в разных направлениях на разных предметах красного дерева.

...А те годы в Европе... а Россия... все эти завихряющиеся безобразия... неужели это был я?

Чтобы избежать окарикатуривания этой, действительно весьма достойной, персоны, мы должны сразу сказать, что Генри Трастайм был достойнейшим членом академической общины, поглощенным своим делом литературоведом, выдающимся экономистом, ведущим историком, непревзойденным советологом и даже признанным биологом в области холоднокровных и амфибий. И все-таки главным его делом, призванием жизни была лингвистика со специализацией по префиксам и суффиксам, этим бесчисленным русским частичкам, которые он воспринимал как некие языческие орды, рыщущие в пустынных степях в жажде еще большего опустошения и без какого-либо другого смысла, но тем не менее исполненные безнадежного романтизма.

Тем временем что-то происходило в коридоре, смежном с холлом, где несколько служащих постоянно сидели на страже, отгораживая своего обожаемого президента от хищных журналистов. Он услышал гнусавый голос своего японского друга Татуя Хуссако и фальцет библиотекаря Филиситаты Хиерарчикос, сопровождаемые возбужденным чириканьем трех младших сотрудников, известных как трио Розы, Пинки и Монти Блю.

Мы не можем не указать здесь, что почтенный Генри Тоусенд Трастайм был постоянной мишенью газетчиков. В городе ходили слухи, что президент Тройного Эл собирается вскарабкаться на американскую политическую сцену; а точнее, хочет бороться за место в сенате. Что касается наиболее злобных сплетников, то они со значением намекали на даже более важную информацию, просочившуюся из влиятельной группы «умеренно консервативных либералов». Трастайм обычно отметал это все как чепуху, однако в узком кругу друзей, особенно после поддачи, он не исключал резких поворотов в будущем. «Не вижу в этом ничего особенного, ребята. Если уж мне случилось подменить на саксофоне Джерри Маллигана в Западном Берлине в самые мерзкие дни „холодной войны“, если уж я плывал на плоту вниз по Иртышу вместе с сибирскими хиппи-столбистами, что мне может оказаться не по зубам?»

«Это возмутительно, сэр!» — синхронно вскрикивали Розы, Пинки и Монти Блю. Сразу после этого стало ясно, что Линия Мажино прорвана. Дверь кабинета распахнулась, и резко вторгся некий юноша, голубоглазый и любезный.

— Добрый день, доктор Трастайм! Как поживаете? Не нужно нервничать, сэр, я не репортер. Я просто агент ФБР, Джеймс Доллархайд к вашим услугам. Зовите меня Джим. Очень приятно познакомиться.

— Миллионы извинений... хм... Джим... Я не очень-то подготовился к вашему визиту... хм... Джим, — ядовито проговорил ГТТ.

— Ноу проблем! — вполне грациозно Джим вернул «миллион извинений» их хозяину. Станным образом яд этой реплики почти немедленно испарился вслед за самим миллионом. — Не хочу тратить впустую вашего драгоценного времени, Генри. Я здесь для того, чтобы поговорить о вашем новом фэллоу, Филларионе Ф. Фофаноффе.

Первым побуждением Генри Трастайма было вызвать Каспара и попросить его показать выход этому нахальному молокососу. Вместо этого он предложил ему кресло и порцию своего терпкого напитка. Позже, пытаясь проанализировать этот неожиданный взрыв любезности, Генри пришел к заключению, что этот молодой человек какой-то непостижимой и ошеломляющей цепью ассоциаций соединялся у него в уме с армейской казармой, в которой осенью 1956 года юный Трастайм ждал демобилизации.

— Фил Фофанофф в такой же степени шпион, в какой он розовый фламинго. Он любимец академической общины мира... Сотни, если не тысячи ученых всех полов и убеждений посещали его знаменитую квартиру, вернее, его скандальную берлогу в Кривоарбатском переулке на Старом Арбате. Больше двадцати пяти лет тупая бюрократия не давала ему выехать за границу, даже в социалистическую Польшу, а вы знаете, что советские шовинисты говорят про Польшу: «курица — не птица, Польша — не заграница». Фил всегда был под наблюдением властей. Они видели в нем сомнительную парадоксальную личность, реального или потенциального возмутителя спокойствия, неуправляемого экспериментатора в собственной жизни и в области общественных вкусов, и это, в общем-то, довольно верно.

Но, разумеется, тупые башки не могли принять во внимание, что он просто ребенок, последний романтик, осколок Ренессанса, гений-гуманитарий, оплодотворяющий своих слушателей неистощимыми эякуляциями вздорных идей...

— Впечатляюще! — прошептал Доллархайд. Стараясь не проронить ни слова, он все кивал Трастайму, ободряя того к дальнейшему рассказу.

— Ну, что ж, — продолжал Трастайм. — Я был просто не в силах понять, почему они так жаждут изоляции этого человека в границах Кривоарбатского переуллка, в свалке его книг и рукописей, или в рамках случайных приступов дебоша по родной Москве, в лучшем случае — во время вылазок на Кавказ или Камчатку. Слава Богу, его любимая тюрьма простирается на одну шестую часть земной суши, хотя и без выхода к Лондону или в Венецию, не говоря уже о Яйце в дистрикте Колумбия.

Однажды он едва, правда, не покинул свою страну, едва не отправился в дальний путь, но опять же не на Запад. После того как «Аполлон-9» успешно сел на Луну, советские вожди пришли в неистовство. Величие СССР было под угрозой. Построить аппарат, который гарантировал бы пилотируемый полет с возвратом, они не могли, поэтому разработан был трехступенчатый план. Первая ракета должна была доставить на Луну пустой возвратный модуль, вторая привезла бы луноход и, наконец, третья прибыла бы с товарищем камикадзе. Задача последнего состояла в том, чтобы сначала найти луноход, потом доехать на нем до модуля, влезть в модуль, взлететь на орбиту Луны, состыковаться с крейсерской ракетой и уж тогда вернуться на одну шестую часть земной суши, чтобы насладиться поцелуями Политбюро.

По счастливому стечению обстоятельств Фил Фофанофф оказался в это время в разреженной атмосфере вулканической станции на Ключевской сопке. Туда прибыла военная комиссия, чтобы набрать добровольцев для лунной экспедиции. Никто, однако, не захотел попытаться счастья, кроме, разумеется, доктора Фофаноффа.

Комиссия, сияя, спустилась из разреженной атмосферы: доброволец-дурак найден! Впрочем, их тут же отрезвили: даже «Аполлон» не взлетит с таким пассажиром. Так что Фил снова провалился со своей страстью к путешествиям. В принципе его раблезианское тело спасло ему жизнь. Больше никто ни звука не слышал об этой лунной экспедиции, что означает два варианта: либо добровольца не нашлось, либо гробанулись...

— Вы бы не возражали, Генри, если бы я спросил, каким образом вы оказались осведомлены об этих удивительных событиях? — спросил Джим не без трепета.

— Мой дорогой сыщик, — вздохнул достопочтенный ШТ, — Фил Фофанофф — один из моих ближайших друзей, если не мое альтер эго. Мы знаем друг друга уже четверть столетия. Он был сотоварищем многих моих прошлых безобразий, если это был я, а не мое трансцендентальное отражение. Понимаете, что я имею в виду?

— Очень понимаю, — тихо сказал Доллархайд. — Эра зарождения самой идеи Молодого мира — трансцендентальные отражения.

Президент Трастайм с полминуты молчал, переваривая идею Молодого мира, а потом воскликнул, будто его разбудили толчком в бок:

— Bravo! Клянусь музой ихтиологии, вы вернули мне веру в правительство Соединенных Штатов!

— Фил Фофанофф, — продолжил он, — всегда всех озадачивал. Он мог предстать то прилежным ученым, настоящим трудоголиком, то возмутительным оболтусом и бездельником. В течение одного часа он мог показаться обаятельнейшим, любезнейшим малым и полным хамом, выказывающим омерзительное невнимание к собеседнику, что случалось, когда какая-нибудь идея захватывала его целиком. А его идеи! Он был истинным генератором идей, как гениальных, так и попросту вздорных. Типично ренессансный субъект! Чем только он не интересовался, однако больше всего душа у него лежала к лингвистике. Мы с ним и сблизились на почве лингвистики, хотя и бились много раз из-за проклятых русских префиксов и суффиксов. Я обычно лупил его в пузо, а он меняогревал вдогонку по лопатке...

— То есть я могу предположить, сэр, что вы дрались в буквальном смысле? — спросил Джим осторожно. Трастайм кивнул, подтверждая это предположение. Джим тогда задал еще один важный вопрос: — Он диссидент?

— Ни в коем случае! — воскликнул Трастайм, как будто задетый за живое. — Фил Фофанофф в такой же степени диссидент, в какой он балетный танцор! Разумеется, ОНИ — вы знаете, кого я имею в виду — имеют все основания его не любить, однако не из-за политической активности, а скорее из-за духовной анархии, которую он источает с каждым выдохом своих легких кашалота. Он жил всегда так, будто не замечал ИХ, будто ОНИ не существуют, и этот подход вызывал ярость и правящих кругах.

Позвольте мне сказать вам, мой мальчик... хмм... пожалуй, довольно странный способ обращения к агенту ФБР, но... многие университеты приглашали Фила год за годом. Мы, например, возобновляли наше приглашение двадцать восемь раз. Он получал почетные степени всех институтов Лиги плюща, был точно выбран членом нашего совета, и все без толку. Вы знаете, как действуют эти «больши»; раз уж они постановили кого-нибудь не пускать, никогда не уступят.

— Но разве он не прибывает завтра самолетом Аэрофлота?

— О, да! И это означает, что там действительно происходят значительные изменения. Я приравнял бы это к легализации оппозиционной партии.

Достопочтенный ГТТ встал и прошелся по великолепному персидскому ковру по направлению к картине, изображающей его любимую хрящевую рыбу, ксифиус гладиус, подкласса цельноголовых, что появилась на лице Земли что-то вроде ста миллионов лет назад. Боже, откуда она появилась? Он чувствовал странную нервозность, какое-то несообразное соединение еле различимых промельков старых мечтаний и раздражающих угрызений. Черты лица молодого человека вызывали в нем какие-то туманные видения прежних дней и ночей, одно из его прежних «эго», которые так трудно соединить с ним сегодняшним. Тот прыщавый солдатик-оболтус, сохнувший по... по чему?... по кому...?

— Теперь вы видите, спецагент, почему я решительно отметаю любые подозрения в отношении Фила, — сказал он сухо. — Да и вообще, я не вижу никакого смысла шпионить в Тройном Эл. У нас нет никаких секретных материалов.

Те глаза, те чертовы невинные глазки, те сказочные полеты соображения...

— Вы вообще-то откуда, Джим?

— Из Монтаны, сэр, — ответил владелец невинных глаз и добавил с явным желанием усилить впечатление от его невинности: — Говорят, что у вас тут имеется очень изощренная электронная защитная система, это верно?

— Конечно, конечно, но наша система покрывает только очень редкий оригинальный материал. Во всех остальных случаях все тексты, чертежи, рисунки и прочее стоят на компьютере и доступны любому. Я думаю, что эта утечка из Москвы, о которой вы мне говорили, не что иное, как глупая шутка. Почему вы вздрогнули, Джим?

Спецагенту не хотелось, чтобы утечка из Москвы оказалась глупой шуткой.

— Нет-нет, ничего, простите, Генри, это просто рефлекторно... Значит, я могу предположить, что этот замечательный джентльмен Филларион Флегмонтович Фофановф начнет у вас работать через пару дней?

Генри Трастайм улыбнулся, как бы предвкушая дивную встречу.

— Его уже ждет отдельный кабинет в Галерее Гей-Люсса-ка. Комната с голубыми стенами, все голубое. Какого черта вы все вздрагиваете, Джим?

— Простите, сэр... это просто, вы знаете... ну... такая удивительная комбинация... голубая комната у Гей-Люссака... Позвольте мне прежде всего вас заверить, что доктор Фофановф — забавное имя даже для русского, не так ли? — которым я уже, после ваших фантастических историй, заочно восхищаюсь, ни в коем случае не является объектом какого-то специального расследования. Мое любопытство было вызвано просто совпадением его приезда с некоторыми, пожалуй, слабыми струйками только что полученной и неподтвержденной информации. Однако, просто чтобы предотвратить возможность неприятных последствий, которые могут возникнуть из-за этого абсурдного совпадения, я надеюсь, вы не будете возражать против моего короткого пребывания в Тройном Эл в качестве, скажем, молодого ученого из провинциальной Монтаны?

Спецагент Доллархайд осознал свой ляп еще до того, как закончил свой замысловатый пассаж. Достопочтенный ГТТ, президент Либеральной лиги Линкольна встал перед ним, подбоченившись. Губы его искривила сардоническая усмешка. Затем он поднял руку над головой и сказал: — Видите эту грешную руку, юный сыщик? Следите за ее движением!

Описав полукружие в благородном воздухе знаменитого учреждения, грешная рука опустилась на низ живота господина президента и несколько раз подпрыгнула в этой области, как бы говоря: «Вот все, что вы от меня получите».

— Надеюсь, намек понят, — продолжил почтенный ГТТ с исключительным кавалерством. — Этот красноречивый жест древних скифов был возрожден советскими полярниками тридцатых годов. Сообразительная молодая ищейка, каковой вы, несомненно, являетесь, может легко перепрыгнуть от тех кочевников к современным бродягам русского алфавита, похожим на лаги некие буквы Икс и Игрек, а также к их младшему брату И краткому. Я ясно говорю? Рад, что вы

правильно поняли. Теперь позвольте кое-что добавить. Я чертовски извиняюсь, Джим, но если я когда-нибудь увижу вас в помещениях Тройного Эл, у меня не будет другого выбора, как защитить свой институт от вашей сверхревностной опеки. Вам понятно?

— Еще бы, сэр, — Доллархайд поднялся и предложил Трасгайму прощальное рукопожатие вместе с понимающей и немного меланхолической улыбкой. Трасгайм протянул ему руку и вдруг отдернул ее, будто ударенный электричеством. Вместо того, чтобы с галантным сарказмом проводить своего назойливого, хотя и приятного, незваного гостя, он сел на краешек стула, уронил го-лову и начал выборматывать какие-то абсурдные сгустки слов: «О, память... эй, Роджер, моя очередь... те страницы, то лицо... память все еще гложет... то тело, та улыбка... Роджер, слышишь?...»

Спецагент Доллархайд вежливо поклонился и вышел из президентского кабинета, спасая себя тем самым от головокружительного парашютирования к самым истокам Молодого мира, а именно к армейским казармам, очарованным глянцевитыми портретами Мисс Монтана 1956. «...Те ночи... фонарики под одеялами... те сказочные перелеты...»

Проходя через гулкий, тускло освещенный коридор в президентской секции Яйца, Джим уловил чей-то быстрый промельк под высоким потолком. Не одна ли из Валькирий? Можно предположить, что даже хорошо тренированный агент ФБР, каковым Джим, несомненно, являлся, мог испытать не очень-то комфортабельное чувство под парящей Валькирией. Он вышел из Яйца и поблагодарил обелиск Вашингтона за его убедительное участие в солнечном, воздушном, деловом дне вполне реальной эспланады.

## Маскировки И Трансформации

Джим прикатил в международный аэропорт имени Далласа задолго до прибытия аэрофлотовского рейса. Хотя ничего драматического и не предвиделось и единственной его целью было мимолетное знакомство с «объектом», он хотел, чтобы начало операции было отмечено высшим классом. Нота высшего профессионализма правильно настроит весь концерт.

В «Информации» ему сказали, что пассажиры советского лайнера будут выходить либо из выхода А, либо из выхода Ф-12, в зависимости от того, какой выход будет объявлен первым. Между двумя этими пунктами лежало пространство размером с футбольное поле, так что преждевременное прибытие для организации потаенного наблюдения вовсе не было занудством.

В окрестностях выхода А имелись приятные, хорошо дизайнированные контрразведывательные удобства, а именно: газетно-журнальный киоск, магазин подарков и закусочная, в то время как Ф-12 не мог предложить ничего, кроме кресла для чистки обуви. К счастью, между А и Ф-12, как раз на полпути, располагался блок туалетов, и это давало спецагенту хорошую возможность для быстрого изменения наружности: он мог легко нырнуть в одну из двадцати четырех имеющихся мужских или женских кабинок, чтобы прилепить удлинение к своему носу, или натянуть рыжий парик, или сменить академический твидовый пиджак на кожаную пилотскую куртку... по обстоятельствам.

Через десять минут, потягивая чай со льдом в кафетерии, Джим заметил в толпе, вернее, над толпой, говорящие головы президента Трасгайма и начальника охраны Тройного Эл Каспара Свингчэара. Два высоких господина медленно двигались к выходу А. Они казались членами одной команды, хотя первый был строен и безукоризненно одет, в то время как штаны и рубашка второго под постоянными наступательными акциями пуза готовы были в любой момент распрощаться.

«Все-таки у морской пехоты пятидесятых есть некоторые основания для гордости», — подумал Джим и быстро нырнул под защиту газеты «Вашингтон пост». Прячась за этой надежной и влиятельной газетой, он прилепил кустистые брови и баки на соответствующие участки лицевого пространства. Сделав это, он прижал большой палец к ободку своих, мягко говоря, не совсем обычных очков, чтобы активизировать вмонтированный в них направленный микрофон. И как раз вовремя. Чудо современной технологии немедленно стало вылавливать из гула толпы обрывки довольно ценной информации.

Достопочтенный ГТТ: «Перестань, Касп... он тебе понравится... Мы с ним корешились в Москве, как когда-то корешились с тобой в Токио... Поверь, московские ночи шестидесятых стоили токийских рассветов пятидесятых...»

Каспар Свингчэар: «На фиг твои ночи и рассветы... с тех пор, как я стал твоим начальником охраны, Генри, я резко переценил свое мнение обо всех этих гудилах вашей вшивой академической братии, особенно о паразитах из „старых стран“...»

ГТТ: «Раньше никогда не замечал за тобой склонности к шовинизму, Касп. Всегда держал тебя за гражданина мира. Гош, в траншее демилитаризованной зоны я слышал, как ты насвистывал Шостаковича...»

Свингчээр: «Заткнись со своими воспоминаниями, парень! Как выглядит эта твоя советская задница?»

ГТТ: «Когда-нибудь видел кентавров?»

Свингчээр: «Хел-дамит-дади-мак, пока что не приходилось».

ГТТ: «Сегодня увидишь одного».

Еле слышное и почти неразборчивое объявление по аэро-портовским громкоговорителям все же информировало, что выход А вряд ли будет подходящим местом для встречи кентавра. Джим бросился со всех ног к выходу Ф-12, прыгнул в возвышающееся, как трон, кресло чистильщика обуви и сказал дежурному философу:

— Видите, я типичный венецианец, а мы там в Венеции знаем законы отражения. Пусть мои ботинки сияют и отражают, как венецианские зеркала, договорились?!

Сразу же он был снабжен доброй порцией мизантропии:

— Может быть, в Венеции обстоит по-другому, но здешний народ не достоин отражения в хорошо отполированных штиблетах.

Чистка началась. Джим похвалил себя за исключительную маскировку. Он смело встретил взгляд приближающегося профессора Трастайма и даже не сразу удивился, когда тот сказал с полной невозмутимостью:

— Перестаньте валять дурака, Доллархайд!

Ну, и ляп! Неопытный новичок контрразведки был бы ошеломлен и угнетен таким провалом на целые месяцы. Джим Доллархайд был не этого десятка. Стиль жизни городского профессионала, йаппи, научил его находить определенную поэзию в постоянном чередовании взлетов и провалов. Выслушав завершающее рычание мизантропа — «ваши чертовы венецианские зеркальщики съедят свои шляпы из ревности», — он бросился в уборную, где добродушный рыжекудрый венецианец был быстро заменен вызывающим германским мужланом в кожаной куртке левацкого комиссара. Он появился у выхода Ф-12 как раз вовремя.

Слоноподобная личность только что вышла из тоннеля. Конечно, невероятное туловище с могучими руками и ягодицами не могло не вызвать у иной изоощренной публики воспоминаний о мифических бестиях Эллады, однако большинство клиентов аэропорта имени Далласа, если даже и замечало это тело, не видело в нем ничего более, чем обыкновенного увальня с северных равнин, если, конечно, оно, большинство, не вглядывалось в черты его лица. Если же оно вглядывалось, то, разумеется, замечало причудливые гримасы этого лица и, несомненно, улавливало пары иностранного бренди, выделявшиеся с каждым движением мимических мышц.

Передвигая застежку-молнию на своей куртке, Доллархайд сделал несколько снимков объекта. Объект ему понравился в этот раз даже больше, чем на просмотре слайда в кабинете начальства, хотя советский не выказывал никаких признаков экзальтации в связи со своим первым в жизни заокеанским путешествием. Тем временем в глубине левого внутреннего уха спецаргента звучал спокойный, немного хриплый, хоть и высокий по тембру голос, производящий серию маленьких взрывов с каждым звуком «п» и «т». Профессор Фофаннофф обращался к администрации Тройного Эл.

— ...До чрезвычайности сожалею, джентльмены, что представляю из себя столь отталкивающее сопорифическое зрелище. Усыпляющая комедия, которой нас развлекали в дороге, горсть транквилизаторов, чтобы подавить воображение, и дюжина двойных порций армянского коньяку, чтобы осмыслить концепцию моей переигранности как таковой, все это сделало свое дело.

— Добро пожаловать в Америку, долгожданное привидение, — воскликнул Трастайм и восхищенно обнял Фила Фофанноффа, точнее, одно из его гигантских плеч.

— Что касается сопутствующих затрудненностей, — продолжил советский джентльмен после объятия, — я должен признаться в полнейшей утрате бумажника вместе с его содержимым. Это плачевное событие оставило меня существенным образом импекьюниус...

— Что-что? — спросил ошарашенный Каспар Свингчээр.

— Остался без денег, — пояснил Трастайм, давно уже знавший манеру Фила изъясняться по-английски.

— А где ваш багажный квиток? — спросил начальник охраны. Фофанофф начал шарить в бездонных карманах, потом испустил вздох и промямлил:

— Если сказать ин орто...

— Как сказать?! — Каспар испустил шипение как бы от лица всей оскорбленной Вирджинии. — А вам не кажется, друг, что вы не в ту страну заехали?

Филларион продолжал рыться в карманах. Позднее он прижался, что не понимал ни слов, ни смысла этого вирджинского возмущения.

Трастайм дружески пихнул кентавра своим костлявым плечом и прошептал в его неожиданно свежее и розовое ухо, которое просвечивало сквозь ирландский мох бакенбарда, словно вполне съедобный гриб:

— Не обращай внимания, этот брюзга тебе позже понравится. Ну, что ты хотел сказать ин орто?

Доктор наук Фил Фофанофф пожал плечами и вздохнул.

— В добавление к упомянутой выше суровой беривементации я должен признаться, что утратил контроль над соответствующей документацией, касающейся моего импедимента.

— Короче говоря, нет ни денег, ни квитка на багаж, — перевел президент Трастайм своему начальнику охраны.

Живописное трио тем временем медленно, но неуклонно двигалось в направлении бара «Завсегдатай небес». Вдруг кто-то обратился к Генри Трастайму с безупречной сердечностью:

— Господин Трастайм, сэр! Какому событию я обязан этой неожиданной встречей?

Этот неподражаемый русский акцент! Трио повернулось и увидело мужчину средних лет в аккуратном костюме-тройке, с аккуратными усиками и аккуратнейшей прической, иными словами — сама аккуратность и компактность. Ба, советник Черночернов, какими судьбами! Ну, конечно же, это не кто иной, как советник по садовым культурам из советского посольства. Товарищ Черночернов лично. Нечего и говорить, его появление в аэропорту не имело никакого отношения к прибытию доктора Фофаноффа; он просто провожал группу голландских тюльпановодов. И вот, какое счастливое совпадение — провожать группу голландских тюльпановодов и сразу после этого познакомиться с гордостью советской гуманитарной науки! Нет-нет, я не льщу, дорогой товарищ, ваши заслуги признаны во всем мире, иначе уважаемый вашингтонский институт не выбрал бы именно вас из множества блистательных советских ученых. Bravo, bravo! И позвольте мне также сказать, даже рискуя показаться излишне патриотичным: нельзя не аплодировать мудрости нашего нового руководства за утверждение такого масштабного научного обмена. Перестройка в действии, джентльмены!

Генри Трастайм не мог поверить своим глазам и ушам: советский официоз заискивает перед скандальным Фофаноффым.

— Выпьем за новую эру, за новое мышление! — воскликнул Черночернов в баре.

В следующий момент бокал, наполненный ничем не меньше, как «Дон Периньоном», вырвался из его рук, будто подхваченный волной какого-то непостижимого сотрясения и разлетелся об стенку. Странный объект, очевидная причина этого сотрясения, висел в воздухе «Завсегдадая небес». Продолговатый и чешуйчатый, он напоминал бы селедку, если бы в то же время он не напоминал ракету «земля — воздух».

Выбив бокал из руки советского дипломата, «селедка» продолжила свой замысловатый, явно разведывательный полет, наугад раздавая мощные шлепки клиентуре бара. Все были ошеломлены, кто-то громко рыгал. Что за адская «селедка»! Послышался дикий вопль: «Я это заслужил!» Истерическое хихиканье. Каждый считал, что это уж, знаете ли, слишком.

— Внимание! — взревел вновь прибывший профессор. «Селедка» остановилась в воздухе. Она светилась изнутри

и явно занимала позицию для атаки. Все онемели, кроме двоих. Первый, некий храбрый германец, перепрыгнул через стол и замер, держа пистолет двумя руками. Вторым, а именно Филларион Флегмонтович Фофанофф, просто схватил «селедку» за ее мощный, похотливо дрожащий хвост. Результат этой спонтанной и, пожалуй, примитивной акции превзошел самые оптимистические ожидания. Внутреннее свечение моментально угасло, и объект (или субъект?) задержался в отчаянных конвульсиях. В конце концов он вырвался из кулака Филлариона и немедленно растворился в табачном дыму.

Позже, когда Генри Трастайм спросил своего друга, как тому удалось продемонстрировать такую безупречную смелость, профессор Фофанофф выступил с несколько туманным признанием: «Верь не верь, старик, но мне всегда в метафизическом плане нравилось принимать желаемое за действительность».

### Генеральная Репетиция

Через неделю после прибытия Филларион Фофанов выступил с лекцией в рамках послеполуденных сессий Тройного Эл. Название лекции звучало так: «Советские шестидесятые. Генеральная репетиция Перестройки?» Первая же метафора, которую он использовал в своей презентации, потрясла аудиторию.

— Вообразите себе картину, господа: первые трещины на безжизненной поверхности асфальтовой пустыни социалистического реализма, и поднимающиеся из них к ужасу ошарашенной бюрократии первые травы Ренессанса, пусть бледные, но упорные... «Поэтическая лихорадка» и «гитарная поэзия»... «Новая волна» в советском кино и «молодая проза»... Новые театральные коллективы и возрождение великого русского авангарда в живописи... «Новый мир» и дискуссионные клубы в городках науки... Первые ростки борьбы за права человека и «самиздат»...

Первый, первая, первое... Аудитория обменивалась многозначительными взглядами: кто бы мог подумать, что советский гость, хоть и «птичка гласности», окажется таким откровенным, спонтанным, таким, прямо скажем, антисоветским?

Откровенно говоря, еще за день до сессии никто из членов совета не был уверен, что московский ученый согласится на председательство почтенного девяностолетнего мудреца старой белогвардейской школы Александра Евтихиановича Пулково-Бреднеколесниковского, которого все звали «Ал». Прежде советские гости из всех сил старались избегать «эмигрантского отребья», высказывая в лучшем случае холодную вежливость, если не открытое недоверие. Профессор же Фофанов просто вскричал в полном восторге: «Какая удача выпала на мою долю! Увидеть живую легенду, властителя дум всей мыслящей России!» Вслед за этим он предложил Алу огромное объятие.

Нечего и говорить, обнявшаяся пара, заняв немало квадратных футов возле стола с бутылками хереса, дала сильный толчок постоянно угасающим надеждам на конвергенцию. Во время ланча Фил и Ал время от времени предавались углублению в свои родословные, пока, к общему триумфу, звено, соединяющее два их клана, было найдено в лице его превосходительства адмирала фон Котоффа. Скоростные клиперы адмирала когда-то терроризировали канадских браконьеров вдоль восточного побережья Камчатки. На рассвете пролетарской диктатуры адмирал был заклеен как клеветник хищнического российского империализма. Впрочем, в нынешние времена сильной зрелости пролетарского государства он был признан как выдающийся географ и сеятель просвещения среди малых народов Севера.

В процессе лекции Филларион безгранично пользовался феноменом, известным в академических кругах как «язык движений». Посреди валящихся восклицательных и вопросительных знаков он вдруг вздымал свои гигантские верхние конечности и давал им обрушиться, как мощному фонтану, в то время как его рот извергал остатки спагетти помилански, что он столь небрежно жевал во время предшествующей дискуссии за ланчем.

Мы помним, конечно, что нашему храброму спецагенту Джиму Доллархайду вход на эту лекцию, да и вообще в помещение Тройного Эл был заказан. Однако с помощью современной технологии он наблюдал всю конференцию со строительных лесов па другой стороне авеню Независимости. Нет-нет, думал он, этот малый не может быть шпионом. Какой шпион когда-нибудь пристегнет пиджак к жилету? Все, что угодно, но только не это!

Большое возбуждение было вызвано пением Филлариона, когда он с вдохновением исполнил московскую уличную песенку шестидесятых:

|           |          |            |            |            |
|-----------|----------|------------|------------|------------|
| Марья     | Петровна | идет       | за         | селечкой,  |
| Около     |          | рынка      |            | живет.     |
| А         | над      | Москвою    | серебряной | лодочкой   |
| Новенький |          | спутник    |            | плывет.    |
| Марье     | Петровне |            | жалко      | целкового. |
| Три       | ему      | дать,      | али        | пять?      |
| А         | над      | Москвою-то | спутник,   | как        |
| Новенький | мчится   | опять.     |            | шелковый,  |

Далее он поведал пораженной аудитории, что распространение этой песенки заставило Политбюро привести в состояние боевой готовности антиповстанческие войска и отряды спецназа.

Достопочтенный Генри Трастайм сиял: его кореш штурмом взял привередливую аудиторию. Либералы, которые, разумеется, составляли большинство, торжествовали: посмотрите, как он естественен и как открыт! Ни малейшей доли доктринерства не угадывается, ни малейшего инструктирования! Вот вам Ее Великодушие Гласность! Не следует ли нам отбросить весь этот вздор об Империи зла?! Если даже он и уникам среди советских ученых, которые обычно выглядят, следует признать, несколько скованными и напыщенными, все-таки ведь именно его выбрали для приезда сюда в данный момент. Не означает ли это, что советские хотят расширить наш диалог, преодолеть мерзкие пережитки холодной войны, культ личности, назовите, как хотите?...

Что касается консервативного меньшинства, то оно призывало к состоянию прохладной, но дружелюбной сдержанности, сохраняя верность своему нынешнему лозунгу: «Доверяй, но проверяй». Впрочем, один почтенный джентльмен, а именно заместитель директора Пит Клентчиз осторожно осведомился у начальника охраны Каспара Свингчэара, не намерен ли доктор Фофанофф попросить политического убежища. В ответ дюжий охранник пожал плечами, что могло и означать, что он не удивился бы.

Все иностранные сотоварищи Либеральной лиги Линкольна приветствовали москвича без оговорок. Утонченный аргентинец Карлос Пэтси Хаммарбургеро аплодировал. Индийская композиторша, два польских историка (один от правительства, другой от «Солидарности»), израильский экономист, высокопоставленный румынский чиновник, беглый эфиопский посол — все были впечатлены спонтанностью доктора Фофаноффа и его пузырящейся эрудицией. Что касается японского исследователя Татуи Хусако, то он, демонстрируя набор своего самого отменного хихиканья, подошел к москвичу и представился как Федор Михайлович, что было, по его мнению, русским эквивалентом его имени. В вашем лице, доктор Фофанофф, сказал он, я вижу вечноезеленый дуб великой русской культуры.

Увы, ни одна компания не обойдется без нахала, и Либеральная лига Линкольна не была исключением из этого исключения. Даже и среди всеобъемлющего восторга чувствительная персона — а доктор Фофанофф был исключительно утончен под своей слоновьей кожей — может уловить возникающую где-то волну враждебности и вызова. С сожалением мы должны признать, что эта отталкивающая волна исходила от самой привлекательной личности в толпе ученых, а именно от лиловоглазой тридцатидвухлетней Урсулы Усрис, кандидата наук из Австралии.

Цветущая личность, истинный символ освобожденной женственности, с гибким, хорошо тренированным телом, определенно выделялась из несколько доскоподобного женского контингента Тройного Эл.

Стоя в позиции фехтовальщика, проверяющего кончик своей рапиры, она бросала искоса взгляд на нашего триумфатора и не очень церемонно спросила по-русски:

— А вы не врите?

Филларион был огорошен. Сначала он вдохнул такое огромное количество воздуха, что многие почувствовали головокружение, внезапно оказавшись в разреженной атмосфере. Потом он выдохнул в два раза больше воздуха, создав тем самым порыв сродни Карибскому урагану...

— Что вы имеете в виду, милостивая государыня?

Она вызывающе рассмеялась.

— Камнями по вронам! — ох, уж эти австралийские выражения! — Вы не преувеличиваете свою «генеральную репетицию?» Ваш так называемый поиск чистоты действительно существовал когда-нибудь? Простите, старина, но мне трудно не предположить, что все эти, трали-вали, ваши «движения» не что иное, как жалкие попытки русских нытиков и слабаков имитировать западную моду.

Он задохнулся от возмущения.

— Простите, сударыня! Вы посягаете на наш Ренессанс! В толпе отозвалось: постыдитесь, постыдитесь, сударыня! Улыбка Урсулы, лучшее, что может предложить стоматология Южного океана, пронзила Филлариона будто смертельный лазерный луч.

— Струс! Я и гроша не дам за ваш говенный русский Ренессанс!

Резкий разворот... взлет каштановой гривы... Боги, милосердные боги Балтики, ее тылы могут гордо конкурировать с фронтами!... уходит, как королева.

— Великодушные дамы, благородные господа, ради Небес, кто она?

— Да конечно же австралийка, мы их тут зовем «оссис», сэр.

Теперь вообразите картину: великолепный ученый-женщина гордо вышагивает по пересекающимся переходам знамени-того института, в то время как президент этого института, достопочтенный Генри Трастайм трусит позади нее, подобно заместителю премьер-министра, трусящему за премьер-министром в одной из тех стран, которым повезло быть под управлением матриархата.

— Урси, подожди! Доктор Усрис, умоляю! — зывал он. — Поговорим как ученый с ученым. Не думай, что я хочу воспользоваться нашими прошлыми, столь взаимно благотворными отношениями. Я просто хочу признаться, что мне было очень прискорбно видеть тебя в приступе русофобии. Доктор Усрис, вы признаны повсюду как великий знаток их междометий, как теоретик их апокрифов... Конечно, я припоминаю, как вы однажды сказали, что предпочли бы изучать их как древних греков... однако, я надеюсь, вы не хотели сказать, что предпочли бы их изучать мертвых... о, нет... позволь мне заверить тебя, Урси, я и сам иногда разделяю твои сомнения в их достижениях, но все-таки то, о чем сегодня говорил Фил, я знаю из первых рук. Просто потому, что мне случилось быть участником тех событий и, пусть я опущусь еще ниже в твоих глазах, тех вакханалий... так что... как бы чайльдгарольдски для серьезного ученого ни прозвучал доклад Филлариона, все-таки было в этом зерно истины...

— Это правда, что у него была кличка Хобот в его Кривоарбатском переулке? — Урсула в конце концов снизила до вопроса.

— Ну, конечно! — ГТТ радостно подхватил вопрос как добрый знак будущего примирения. — В нашей шайке мы перевели его кличку на «Пробосцис». Ему это даже больше нравилось. Пробосцис! Звучит?

— Очень даже, — она серьезно кивнула. — У меня всегда была склонность принимать глупые метафоры за отражение реальности.

Прощаясь, она последовательно преподнесла президенту улыбку, подмигивание и мощный шлепок по его тощим ягодицам.

— Ты должен мне рассказать подробнее об этой лиловоглазой даме, — настаивал Филларион, когда друзья остались одни в Гостиной Диогена, среди стекла и красного дерева, над панорамой американской столицы. — Клянусь, я выслежу истоки ее русофобии до самых глубинных тайников, размотаю истину до полной обнаженности! Так что, Сакси, не тани и расскажи мне, почему доктор Усрис так яростно нас не любит!

Генри смутно улыбнулся, услышав свою кличку старых времен, внезапно выскочившую из забвения. Сакси, человек с саксофоном.

— Не забывайся с метафорами, Пробосцис! Если она решит когда-нибудь размотать перед тобой свою истину, она просто спросит, не хочешь ли ты прокачать систему.

— Что это значит, прокачать систему?

— Что это на самом деле значит? — подумал третий участник беседы, невидимый ни Сакси, ни Пробосцису.

У спецагента Джима Доллархайда, застывшего на строительных лесах возле Федерального монетного двора, все ушики Пыли на макушке, вернее, вся электроника была на заднице.

Сверхчувствительное устройство, что высывалось из заднего кармана его комбинезона и имело вид обыкновенной щетки для волос, помогало нашему контрразведчику следить за малейшим изгибом диалога.

Между тем каждый следующий шаг в разговоре двух друзей уводил их все дальше и дальше назад из текущего момента с его щедрым разливом декоративных отражающих прудов вдоль Вашингтонского мола, от зеркальных поверхностей, на которых новые выводы утят резво пересекали отражения торжественно парящих чаек.

— Между прочим, Фил, ты не думаешь, что наша самонадеянная красавица в чем-то права? Тебе никогда не приходило в голову, что мы преувеличиваем достижения шестидесятых на обеих сторонах Атлантики? Отдавая должное вашему поколению со всем его спектром вдохновений, я не могу не признаться, что ярчайшим моментом того времени для меня до сих пор является безобразнейшая Свалка-68 в ресторане «Искусство» на углу Горького и Пушкинской площади. Будешь ли ты возражать, если я предположу, что та морозная ночь ранней весны со всем ее пьянством и чванством, хохотом и похотью, аканьем и траханьем, махаловкой и нахаловкой и с завершающим заключением в вытрезвительный центр «Полтинник» была лучшим воплощением твоей «генеральной репетиции», чем все

абстрактные концепции духовных откровений, о которых ты сегодня говорил в своей блистательной лекции?

Филларион Ф. Фофанофф сморщил свое обширное лицо в гримасе, напоминавшей застывшее землетрясение.

— Давай лучше бросим эти глупые воспоминания.

— Почему? — энергично возразил Генри Тоусенд Трас-тайм. — Если не мы, то кто же вспомнит об этом внутри данного Яйца?

## Уколы Ностальгии

Да, это она виновата, она, мое незабываемое очарование. Именно Ленка Щевич поневоле, как обычно, начала катить тот снежный ком, Свалку-68.

Генри Трастайм вздохнул, вспоминая хрупкие плечики «своего очарования», вспоминая и самого себя в том году, розовощекого, с обмороженным носом, обмотанного драным оксфордским шарфом. В те времена он неустанно повторял свою любимую фразу: «Все любят "И", а я „И-краткое“!»

— Верно! — рев Филлариона Фофаноффа можно было бы сравнить с одновременным спуском воды в галюнах авианосца. — Немало мопсов поломали себе носы из-за этой чувихи!

Он припомнил кристально чистое небо той ночи, столь редкое в загрязненной атмосфере Москвы, когда он стоял на углу Горького и Пушкина, охваченный неудержимым желанием завалиться в ресторан «Искусство», прекрасно понимая, какой опустошительный удар нанесет это желание по его морали, не говоря уже о физиологии и финансах.

В тот же вечер два молодых актера из передового театра «Новый век», Борька Мурзелко и Ленка Щевич, мальчик и девочка, завалились туда же перекусить. В американской пьесе «Качели» укачиваешься до голодного обморока! Ленкины лживые глаза подобны паре голодных калейдоскопов. Слухи о моей распушенности чертовски преувеличены, дорогие братья по ремеслу и друзья советского театра! Некоторые гудилы заходят так далеко, что говорят, будто Ленка играла подводную лодку в компании пяти моряков. Фуй, какой вздор, да ведь это просто немыслимо ни по физическим, ни по моральным стандартам!

Борька, комсорг «Нового Века», пожертвовал своей репутацией ради Ленкиного человеческого достоинства. Занудными часами утреннего похмелья он лепил ее скульптуру из импортного пластилина.

Вопреки установившемуся мнению, говорил Мурзелко, мы, современные актеры, не бессмысленный, необразованный сброд, просто строительный материал в руках режиссера. Молодой советский актер шестидесятых — гордая и смелая личность, приобщенная к передовым идеям, к современной философии Запада и Востока! Понимаешь меня, Ленка?

Ленка кивала, стараясь как можно быстрее покончить с горячим блюдом, известным здесь как селянка «зубрик». Она притворялась, будто полностью поглощена этим самым дешевым и самым популярным едалом (есть гудилы, утверждающие, что зубрик — это ничто иное, как меланж из ресторанных остатков), и только изредка бросала искоса взгляды на соседний столик, где сидел ее четвертый муж. К двадцати годам Ленка сподобилась иметь на своем счету уже четырех законных мужей. Этот четвертый, собственно говоря «текущий», красивый дурак Александров, был известен широкой публике как Дитрих Фокс, изысканный эсэсовец, роль которого он играл в популярном сериале.

— Распутная тварь! — произнес Фокс — Александров, обращаясь ко всем присутствующим. Ублюдок до сегодняшнего номера и думать не думал о существовании жены, однако сейчас ему захотелось сыграть роль обманутого мужа. Хочет, чтобы его побили, догадывалась она, вот именно этого он и хочет.

— Почему? — Фокс — Александров подверг свой голос профессиональной акселерации. — Братцы, почему все мои жены обязательно проститутки?!

Все присутствующие повернулись к нему, и он, в соответствии с тем, чему его учили в актерской школе, зафиксировал позу невинного изумления.

— Почему, братцы?!

Ленка не поднимала глаз от тарелки, хотя и подсчитывала в панике: Артур, Мишка, Жека, Кока, Хобот, Иван, америкаша Сакси... по меньшей мере, семь родственных душ в округе, и все поддатые, и все готовы к бою, кошмар!

Все были готовы, кроме ее сегодняшнего рыцаря, актера нового интеллектуального типа, который, прожевывая свое сомнительное едало, продолжал развивать не менее

сомнительную концепцию современной философии в ее приложении к московскому театру времен Великого Ренессанса, нравственного возрождения, в наши времена Поиска Чистоты, в поворотный момент русской цивилизации. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Читала Тютчева, Ленка? Бенц!

Артур, не надо! Фокс, встать! Сейчас получишь хорошую плюху за свои грязные выпады в адрес благородной юной дамы, что путешествует в одиночестве по стране негодяев! Бенц! Где же Фокс? Не видите? Да вот он, ползет к выходу! Бей его в грешный зад, если еще веришь человечеству! Бенц! Кока, Жека, на помощь! Подонок! Да как ты смеешь бить в зад благородного русского актера?! Опять грузины! Эй, ребята, тут грузины бьют многострадальный русский народ! СОС! Бенц! Молчи, Баранкин!

«Искусство» вспыхнуло в один миг, как тот стог сена, о котором упоминал Лев Толстой, говоря о духовной революции. Первоначальная причина драки была немедленно забыта. Актеры и другие завсегда таи печально известного богемного стойла в сердце «образцового коммунистического города», «столицы прогрессивного человечества» щедро обменивались всеми видами биток, бросков и захватов. Обмен шел без разбора и во всех направлениях. Многие предметы ресторанного обихода пошли в ход, особенно бутылки и вилки, а также стулья, скатерти, алебастровая березка, этот символ русскости, сковородки с незаконченной селянкой «зубрик», длинные и твердые болгарские огурцы, пригодные для разгона уличных демонстраций... Словом, искусство ради искусства.

Позже некоторые свидетели, то есть участники, поскольку никто в стопятидесятиместном заведении не остался без дела, кроме Мурзелко, который тихо расплатился и ушел, погруженный в раздумья, вспоминали наиболее выдающихся бойцов. Среди них был, конечно, главный вышибала, отставной капитан дядя Володя (самый коварный), и, разумеется, боксер-тяжеловес, чемпион Европы Авдей Сашкин (самый мягкий), ну, и гигантский гуманитарий с Арбата Филларион Фофановф — Хобот (самый сокрушительный), и один американский чудила, посол доброй воли Сакси Трастайм (самый забавный), а как же без него.

Последний нырнул башкой вперед в кучу малу, спас «свое очарование» Ленку Щевич из похотливых лап пяти кавказских пилотов. Перевернув несколько столов, он обратился к пяти парализованным от ужаса японским туристам с призывом создать незыблемый бастион свободного мира.

Милиция явилась с обалденным опозданием. Она окружила «Искусство», когда веселье было фактически окончено. Только те, кто не мог удерживать вертикальной позиции, оставались на полу. Некоторые из них храпели, другие зывали к духу пуританства, многие пели шлягер сезона «Мимоходом, мимолетом, пароходом, самолетом...»

Бой тем временем продолжался снаружи вокруг монумента российской любви и славы. Некоторые предлагали взять здание Центрального телеграфа. Чемпион принял предложение возглавить временное правительство. Фил Фофановф-Пробосцис украл ментовский мотоцикл с коляской и предложил прокатиться парочке цыганок. По неизвестным причинам, он был одержим увидеть двух гигантов современного мира, Федора Достоевского и Карл Маркса.

Сначала он поехал на Божедомку, где в саду Туберкулезного института стоит полузабытый пророк в ночной рубашке, сползающей с его грешных плеч. Оттуда отправился в самый центр, где вздымается гранитный Отец Коммунизма, с двумя перелетными птицами, нашедшими по пути с Кипра пристанище на его объемной голове.

Потом Фил Фофановф исчез из виду, а также из своих воспоминаний...

Двадцать лет спустя почтенный Генри Тоусенд Трас-тайм спросил своего друга профессора Фила Фофановфа:

— Где же ты был до того, как мы на следующее утро столкнулись возле бочки с огурцами на Центральном рынке?

Разговор между двумя светилами гуманитарной науки проходил, напоминаем, в Диогеновой гостиной Либеральной лиги Линкольна.

— Понятия не имею, — пробормотал Фил. — Последнее, что ч помню, был огромный лозунг: «Коммунизм — светлое будущее человечества!» Мотоцикл нес меня прямо на него с ошеломляющей скоростью. В голове была только одна идея: «Красота спасет мир!» После этого полный провал, затем — бочка с огурцами...

Они оба вздохнули. Золотые шестидесятые! Молодая зрелость!

— Можешь себе представить, Пробосцис, я полностью потерял следы моей прелести Ленки Щевич. Ничего о ней не слышал с тех пор... — сказал ГТТ.

— Она здесь, — безразлично пробормотал Филларион.

— Где?! Бога ради, где она?! — вскричал Трастайм с безудержной страстью.

— В Штатах. Я знаю точно, что она эмигрировала и поселилась где-то в Чикаго, — мямлил Фофанофф, растирая себе лоб и виски.

— Боже Всемогущий! Она в Чикаго! — Трастайма бросало и в жар, и в холод. — Замужем? Отягощена семьей?

— Можно только догадываться, — сморщился Фофанофф. По непонятным причинам он выглядел мрачнее тучи; явно впадал в депрессию.

Друзья не замечали изменений в настроении друг друга. Фофанофф встал.

— Прости, Генри, но воспоминания о той ночи или, вернее, провал в воспоминаниях всегда оставляют меня побитым и помятым, как благородный русский самовар в руках французских мародеров. Ты не возражаешь, если я тебя оставлю и отправлюсь на каток?

— Ну, разумеется, Ваше Превосходительство! — воскликнул Трастайм, даже не обратив внимание на странное направление своего протеже. Он был весь поглощен жаркими расчетами. Прошло двадцать лет. Ей сейчас сорок. Женщины этого типа могут совершенно не измениться! О, если бы она хоть наполовину осталась той же Ленкой Щевич! Друзья расстались.

Джим Доллархайд спрыгнул с лесов и бросился через авеню Независимости к тележкам уличных торговцев. Он купил пакет жареной картошки «френч-фрайз» и вышвырнул его содержимое в мусорную урну. Потом он купил губную помаду и с помощью этого дивного прибора нацарапал на картоне два слова: «эмоциональная нестабильность». Две толстые бабы смотрели на него с автобусной остановки.

— Че это мужик делает? — спросила одна.

— Мужик пишет губной помадой на пакете из-под картошки, — сказала другая.

— Понято, — сказала первая. Подошел автобус.

## В Сравненье С Чем?

— Что он, действительно на коньках катается? — спросил Мелвин Хоб-Готлиб, выказывая что-то выше обычной фэбээровской любознательности.

— Еще как! — воскликнул Джим с энтузиазмом, который заставил брови старшего агента Брюса д'Аваланша взлететь вверх и воспроизвести галочку на его лице вечно дежурного офицера.

— Вы должны увидеть это сами, доктор Хоб! Стоящее зрелище! Есть нечто сюрреалистическое в том, как он скользит на фоне нашего величественного Национального архива, сдвинув набекрень свой гоголевский шапокляк! Скольжение — моя вторая натура, поясняет он. До недавнего времени он этого не знал, пока при стечении благоприятных обстоятельств вдруг не выяснил, что преодоление законов трения — это ничто иное, как его вторая, если не первая натура, сэр.

— Кому он это объяснял? — спросил старший агент д'Аваланш.

— Другим конькобежцам, сэр. Кто-то спросил, не из цирка Барнума ли он, в ответ последовал пространный монолог о трепни и скольжении.

— Общительная персона, — сказал Хоб-Готлиб не без тени зависти в голосе.

— Вот именно, сэр. Его внешность привлекает всеобщее внимание, и он без задержки пускается в разглагольствования, хотя его английский оставляет желать лучшего. Он может безгранично дискутировать любую философскую тему, о Кьеркегоре ли, Конфуции ли, но из-за своего, скажем так, малообиходного словаря оконфузится в простейших обстоятельствах. Вот, например, третьего дня он пересекал Висконсин-авеню во время часа пик, и один водитель адресовал ему приятное выражение: «Ты что, не видишь красного света, задница?» Доктор Фофанофф одарил его улыбкой и взревел, потрясая своим шапокляком: «Вот они американцы! Ну, как приветливы, черти!»

— Кому он это сказал? — спросил д'Аваланш. Уточнения были его специальностью.

— Пролетающим облакам, сэр!

В комнате, не заслуживающей никакого специального описания, тем более что она уже известна нашему читателю как кабинет главы Пятого подотдела Третьего департамента контрразведки ФБР, Джим Доллархайд делал доклад о результатах своих предварительных наблюдений.

— ...Прежде всего, мистер Фофанофф не прячет своей определенной осведомленности относительно вашингтонской среды обитания. Приехав, он выразил желание немедленно получить ощутимые доказательства существования некоторых гипотетически существующих

мест. Простите, Брюс, но это не имело никакого отношения ни к Пентагону, ни к Старому дому администрации, ни даже к Арлингтонскому мемориальному клад-пищу. Он захотел увидеть книжный магазин «Йес», а также джаз-клуб «Блюз-эллей» в Джорджтауне.

В первом он сделал довольно дикий выбор книг, купив, в частности, «Симпатизирующие вибрации», «Власть вашей второй руки» и «Как приручить вашего чертенка». В последнем он фактически повернул внимание публики от пианиста Леса Макэна на себя. Всякий раз, как Лес пускался в свой «фанк» и публика по его знаку начинала петь «Пусть это будет правдой! В сравнении с чем?», доктор Фофановф трубил, как потревоженный слон: «В сравнении с Кантом!» Даже либеральная публика не выдержит, когда все время кричат: Кант, Кант! Его едва не вышибли общими усилиями, пока он не пояснил, что он имеет в виду не только мистера Иммануила Канта, но и всю германскую философию. После этого они обнялись с Лесом Макэном и несколько секунд стояли в молчании.

— Сколько народу присутствовало? Какие-нибудь иностранцы были? — спросил старший агент д'Аваланш.

Джим обожал деловые вопросы своего начальника.

— Присутствовало сто сорок семь полнокровных американцев, сэр, и один декадентный араб, сэр. Да, джентльмены, там был шейх Сайд Кисмет Манна. Где он остановился в Вашингтоне? В настоящий момент он разговаривает с вами. Так точно, сэр, шейх к вашим услугам.

Доктор Хоб мягко поаплодировал: браво, браво, браво! Не нужно хмуриться, д'Аваланш. Это как раз то, что нам нужно, — импровизация, дар артистизма и так далее. Трое помощников, Эплуайт, Эппс и Макфин закивали в полном согласии. Как раз то, что нам нужно: И да и так далее.

Спецагент Доллархайд продолжал свое сообщение о вашингтонской активности москвитянина. На Коннектикут-авеню в магазине «Поло» Фил купил себе дюжину рубашек сверхкоролевского размера. Я знаю, что джентльмены покупают рубашки дюжинами, сказал он своему другу Генри Трастайму. Тут же он был ошарашен, когда ему предложили заплатить за эту покупку девятьсот шестьдесят пять долларов девяносто два цента. Как же так, я думал, что в Штатах можно машину купить за такое количество «презренного металла» (так он называет деньги). Конечно, можно, сказал ГТТ.

Они отправились в хозяйство подержанных автомашин и купили обшарпанный, но весьма грозного вида «Чеккер» образца 1969, за одну тысячу сто тридцать шесть с копейками. В этой машине нашего клиента можно принять за колдуна из болот Диксилленда.

Однажды он был ограблен во время небрежной прогулки в полночь вдоль Эй-стрит, юго-восток, где, как известно, после захода солнца жители не высовывают носа из дома. Для полной точности следует сказать, что это был не гоп-стоп, а только лишь попытка гоп-стопа. Вместо того чтобы удовлетворить требования молодых революционеров и вывернуть карманы, он сгреб их всех в одном медвежьем объятии и провозгласил мировое братство имени Франсуа Вийона. Когда же он ослабил свой зажим, все три пары кроссовок пустились врассыпную на светящихся подошвах. Интервенции сил порядка в лице вашего покорного слуги не потребовалось.

Фил выказал также определенный интерес к религиозной жизни, посетив католическую, русскую и греческую православные, протестантские, синагогу, мечеть, равно как и другие церкви дистрикта Колумбия, пока не присоединился к буддистскому ашраму «Луч света в темном царстве». Да, Брюс, это интересно. Вы правы, Брюс, это очень, очень интересно.

К несчастью, его изгнали оттуда спустя короткое время. Да, это тоже интересно, но дайте мне сначала вкратце рассказать эту историю, детали потом.

В последнее время эта компашка чудил была одержима идеей так называемых «волн Добра». Во время своих сборищ они передают эти волны то в Белый Дом, то в Кремль. Они абсолютно убеждены, что последний договор был подписан благодаря их усилиям, а госсекретарь Джордж Шульц тут абсолютно ни при чем.

Филларион ревностно посещал ашрам, молился и передавал в сторону Кремля «волны Добра», пока их гуру Годиванагуце (в миру Триша Адаме) вдруг не взорвалась криками со слезами, обвиняя новичка в недостатке искренности. Он клялся, что он ее верный последователь, но она сказала, что этого мало. Она провидела его будущее изгнание из этого мэрилендского рая, поскольку он не может выразить искреннюю любовь к Политбюро.

Некоторое время он еще болтался там на птичьих правах, а потом его окончательно вышибли. Надо отдать ему должное, он не был слишком огорчен. Выходя из ашрама, он насвистывал Россини, а потом приехал в кафе «Сплетни» и заказал пару пива.

— А были у него какие-нибудь контакты с советским посольством? — Старший агент д'Аваланш задал этот вопрос как бы мимолетно, что не оставляло сомнений в его чрезвычайной серьезности.

— Простите, Брюс, должен вас огорчить, «контакты с посольством» и Фил Фофанофф — понятия несовместимые. Во время той шикарной вечеринки «короткого замыкания» советник по садовым культурам Черночернов потихоньку сказал ему. «Есть разговор, зайди ко мне», но мне кажется, что он этого даже не расслышал. Фактически никто этого не слышал, кроме вашего покорного слуги.

— А как насчет сексуальной ориентации доктора Фофаноффа? — торопливо спросил Хоб-Готтлиб, как бы стараясь пресечь дальнейшие уточнения предыдущего вопроса.

— Пока еще это тайна, завернутая в загадку, — усмехнулся Джим. — Неистребимое любопытство однажды завело его в «Горячие ванны Гвадалахары». Во всяком случае я там на него натолкнулся... — в этот момент спецагент вдруг сообразил, что едва не проговорился о своей собственной ориентации. — Собственно говоря, я шел за ним, когда он неожиданно туда завалился. Когда я вошел... то есть когда последовал за ним, он разговаривал с молодым стильным ювелиром. Ну, собственно говоря, профессия этого парня была установлена позже... но в общем, я подслушал, как Филу предложили «квики», и он, конечно, тут же согласился, не имея понятия о том, что ему предлагают.

Когда же ситуация прояснилась и стало понятно, что такое «квики», он разразился хохотом и сказал, что ни при каких обстоятельствах не принадлежит к «голубой дивизии». Ювелир обиделся и назвал профессора Фофаноффа расистом.

— В добавление к этому столкновению... хм... двух, так сказать, концепций, — продолжал Джим, — я не могу не обратить ваше внимание, джентльмены, на весьма диковинное объявление в «Нью-Йоркском книжном обозрении». Извольте, вот оно: «Среднего возраста джентльмен — жизнелюб, заметная наружность, быстрая смена интересов и убеждений, полный набор вредных, хотя и безобидных привычек (копание в носу не включается), ищет знакомство с дамой приятного свойства (совершенство не требуется). В добавление к интимным отношениям философские темы и художественное пение. Можно звонить или заходить без предупреждения. Дикэйтор-стрит, номер такой, телефон такой-то...»

— Отличная работа! — воскликнул Хоб-Готтлиб. — Согласны, ребята, что Джимми проделал великолепную работу?

— Конечно! Конечно, согласны! — срезонировало трио Эплуайт — Элле — Макфин. Брюс д'Аваланш, сдержанный больше, чем обычно, только лишь кивнул в знак одобрения. — Теперь самое время ободрать кошку, ребята, — проскрипел он. — Этот шизик — шпион?

— Он такой же шпион, как я Ромео, — сказал Джим убежденно.

— А почему вы не можете быть Ромео, молодой человек? — мрачно спросил д'Аваланш.

— Я хотел сказать — Джульетта, — поправился Доллархайд.

— Ну, это как вам угодно, Джим, — дружелюбно улыбнулся доктор Хоб и затем жестом попросил всех подождать, пока он найдет что-то важное на своем столе, который выглядел, как баррикады Парижской коммуны 1871 года.

Взвихрив короткий торнадо на столе, он, однако, так и не нашел ничего важного, если не считать тома переписки Набокова с Уилсоном. Что касается этой книги, то она была открыта на странице 69, и несколько строк в ней было отчеркнуто фломастером.

«...это одно из самых совершенных блаженств, которые я знаю — открыть окно в душную ночь и наблюдать, как они появляются. У каждого есть своя особая манера по отношению к лампе: кто-то тихонечко устраивается на стене, другой врывается и бьется об абажур и потом падает, трепеща крылышками, на стол, третий бродит по потолку...»

Перечитав отчеркнутое, доктор Хоб пожал плечами и спросил коллег:

— Может, нам бросить все это дело, ребята?

— Ни в коем случае! — вскричал Джим, будто задетый за живое.

— Не могли бы вы уточнить ваше «ни в коем случае», спецагент? — спросил д'Аваланш. — Почему нам не следует бросать расследование в Тройном Эл?

Джим был основательно озадачен. Стоит ли рассказывать им об ошеломляющем промельке, или, вернее, о неммыслимом ощущении парящей валькирии? Стоит ли

рассказывать о необъяснимом чувстве общности с этим толстяком? Стоит ли говорить им о том, что если мы бросим это дело, я всю жизнь буду знать, что оставил друга в беде?

— Простите, старший агент, — пожал он плечами. — Это всего лишь моя интуиция, а я всегда был склонен доверять ей.

— Вас понял, — сказал Хоб-Готтлиб с довольным смешком. — Благодарю вас, Джим, за превосходную работу, и — полный вперед с вашей интуицией! На такой тонкой работе, как наша, джентльмены, мы не должны пренебрегать нашей интуицией. Конечно, Брюс, вы правы, мой друг, мы не можем позволить себе предаваться личным эмоциям, но, с другой стороны, мы не можем терять никаких оттенков.

Теперь позвольте мне познакомить вас с новыми данными. К сожалению, наши требования подкрепления и более легкого доступа к секретным данным не были удовлетворены. Ребята из Вирджинии все еще ни мычат ни телятся относительно идентификации Пончика, не говоря уже о таинственном Зеро-Зет. Так что мы опять предоставлены сами себе и можем уповать только на наши главные источники информации, вашингтонские и московские утечки. Так вот, согласно одной чертовски деликатной утечке таинственный Зеро-Зет располагает тремя сверхтренированными оперативниками, готовыми к выполнению любой задачи. Мы понятия не имеем о сфере их активности и ни в коем случае доктора Фофановфа нельзя рассматривать в связи с Зеро-Зет, однако к нам постоянно и упорно поступают указания, что Либеральная лига Линкольна находится в фокусе интересов Пончика и Зеро-Зет. Так что, братцы, все мы должны быть в состоянии повышенной готовности. В заключение позвольте мне прочесть вам несколько строк из письма господина Набокова господину Уилсону... — и доктор Хоб, многозначительно подняв свой корень женьшеня, то есть указательный палец, прочел отрывок о влетающих на огонь насекомых, который был отчеркнут в книге жирным фломастером.

— Простите, босс, — сказал старший агент д'Аваланш, который изо всех сил старался изобразить полнейшее уважение к литературе. — Перед тем как мы разоидемся, я хотел бы сделать еще одно небольшое уточнение. Та назойливая «селедка» в международном аэропорту имени Далласа, что это было? Должны ли мы просто отместить это в сторону как какой-то новый тип этих проклятых японских игрушек йо-йо или... хм... в этом было нечто серьезное? Как вам кажется, Доллархайд?

В этом пункте Джим, увы, не смог проявить ни своей наблюдательности, ни своей интуиции.

— Право, не знаю, сэр... — забормотал он, — вполне возможно, это была одна из тех технологических шуток, которыми сейчас дурачат почтенную публику... право, не знаю, сэр... — По непонятной причине он почему-то не рассказал коллегам о том зловещем впечатлении, которое произвела на него летающая «штука» в баре «Завсегда та небес». Контрразведчик ФБР не может позволить себе излишне предаваться личным эмоциям.

Вскоре после этой встречи Джим Доллархайд среди ночи был разбужен телефонным звонком. Секунду или две он прислушивался к странному гулкому жужжанию (вот именно, гулкое жужжание!), идущему из каких-то безмерных пространств. Со спутника, что ли? Потом непостижимый, замогильный голос произнес фразу: «Добавь четвертое „Эл“, Джим, идет?»

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### Высшие Квалификации

Эта осень была блаженным периодом в жизни советника Черночернова. Его супруга, Марта Арвидовна, костлявый отпрыск проклятой революционной аристократии, латышских красных стрелков, была в отпуске, то есть пребывала в ее возлюбленном «мире социализма», так что он получил заслуженную передышку в их почти ежедневной сваре по поводу идеологических и физиологических вопросов.

Вообразите, стареющая «марксистская кляча», как он привычно называл свою жену из-за ее вздорной приверженности к этой прохиндейской, антирусской теории, вместо купаний в чудесном партийном санатории на Кавказе, проводит дни в Московском архиве КПСС, собирая материал для своей диссертации «Крушение латвийской псевдонезависимости как триумф марксизма-ленинизма!» Ну и ладно, это ее личное дело, а нам дайте в ее отсутствие вкусить «одиночества роскошные плоды». День за днем советник по садовым культурам при посольстве СССР, он же скрытый полковник Сто пятого управления КГБ и член коммунистической партии с двадцатилетним стажем, ублажал себя погружениями в глубокие

тайники своей души и физиологии; коротко говоря, он мечтал о восстановлении русской монархии и о своих, пожалуй, шурум-бурум, сексуальных предпочтениях.

Данное утро, как таковое, началось в полном блаженстве. На грани пробуждения полковнику вспомнилась юная черная девочка, которую он заметил третьего дня выходящей из квартирной секции комплекса Уотергейт. Может быть, она никто иная, как маленькая наложница какого-нибудь миллионера среднего возраста с волосатой грудью и хорошо развитыми мускулами на ляжках? О, великодушие капитализма! Имей достаточно добра, и можешь в любой момент вызвать какую-нибудь стройную, благородную крошку, вдумчиво и осторожно раздеть ее, а потом медленно надеть пару белых чулок на ее длинные мальчишеские ноги и бейсбольную шапку на ее панковую прическу, и... лимиты, лимиты, товарищ полковник!

Помолодев при помощи этих фигментов воображения, Черночернов встал и энергично прошел в ванную бриться. В хозяйстве у него имелся смысленный прибор, который мог одновременно включать бесшумную бритву, ароматную кофейную машину и всегда поднимающий настроение (даже и гадкими новостями) голос радиостанции БЛАД-96. Из всех «безнравственных приманок» капитализма Марта Арвидовна пуще всего ненавидела именно этот прибор, между тем как полковник нежно его любил.

При первых звуках утренних новостей он перекрестил на православный манер свой лоб, живот и плечи: долгожданное событие в конце концов свершилось. Пока он мечтал о той славной мальчиковой девушке, морские пехотинцы США завершили высадку на пляжах и в глубине одной субтропической сюркоммунистической страны, чтобы изолировать ее кровожадную, саморазрушительную хунту и принести туда вечный мир и справедливость под покровительством Ее Величества Современной Рыночной Системы.

Спасибо, Ронни, за такой подарок, прошептал полковник. Чем скорее падет Империя зла, тем больше будет у нас шансов для Возрождения!

У советника Черночернова был выходной день, и он был намерен провести его к своему высшему удовольствию, а именно прогуливаться по городу, изображая несоветскую персону. Конечно, для этой цели требуются небольшие маскировочные меры: ну, скажем, вот эти густые брежневские брови, которые сбаластируют аккуратные британские усики, ну, скажем, вот эта мятая шляпенция ирландского твида, как у отставного консервативного служащего, ну вот, и пара затемненных очков... — извольте, теперь мы неузнаваемы.

Как это приятно, когда тебя не принимают за советского! Приобщиться к норме, как это славно!

Почему бы не посидеть спокойно у обычной стойки, не почитать «Пост» за брекфестом, почему бы не ответить спокойной улыбкой и кивком на обращение «сэр»? Какое огромное удовольствие поделиться с кем-нибудь деловой секцией газеты, обратить чье-то внимание на рост акций пиломатериалов, положительно ответить на чью-то просьбу о карандаше, о зажигалке... конечно, сэр... извольте... она ваша, сэр...

Иностраный акцент можно прекрасно замаскировать некоторым заиканьем и шепелявостью... небольшое врожденное косноязычие, джентльмены... Всем известно, что американцы, особенно британского происхождения, исключительно отзывчивы к малейшим формам неполноценности. Будучи стопроцентным консерватором, полковник Черночернов не делал секрета из своей англофилии.

А почему бы просто, с классическим зонтом в руках, не прогуляться вдоль Коннектикут-авеню? Никто из прохожих никогда и не подумает, что я советский. Почему бы не продолжить чтение газеты на скамье у фонтана на Дюпон-серкл, отечески наблюдая тамошних белых и черных бичей? Почему бы даже не подать им какую-то мелочь для поддержания существования, хотя и очень малую мелочь, чтобы не одобрять тунеядство в обществе. Бремя Белого человека гласит: «Кто не работает, тот не ест!» У-у-пс, это вроде из другой оперы, ленинская идея, черт ее дери!

Почему бы мне не пройти затем через Дюпон-серкл к книжному магазину «Лямбда на взводе» и почему бы там не посидеть в углу с книжкой на коленях, сенаторские очки на носу, почему не посмотреть на красивый «голубой» народ, такой непосредственный, такой спонтанный?

Эти, почти нестреноженные, утренние мысли полковника были внезапно прерваны телефонным звонком. Кто, черт дери, звонит по утрам? Кто бы это ни был, ни одна советская личность (за чисто теоретическим исключением вновь прибывшего шизика) не могла соответствовать блаженству Черночернова. Что касается несоветских личностей, то они

никогда не тревожили его домашний телефон. Наиболее вероятно, это не что иное, как «свистать всех наверх» из посольства, созыв чрезвычайного загребанного собрания по поводу падения этой заплыванной субтропической сюрреволюционной хунты. Большое дело, разогнана еще одна кодла захребетников... разве это не на пользу матушке России, совсем уже досуха высосанной интернациональными подонками? При всех обстоятельствах, это не Афганистан, где мы отстаиваем наши корневые интересы. Каждый знает, что Россия исторически и... хмм... метафизически — это медленно расширяющаяся сила, а не авантюрная пантера, прыгающая с острова на остров. Любой человек в посольстве сведущ в том, что это зона не наших интересов и нам следует тут вести себя скромнее, и тем не менее мы будем все час или два жевать весь этот мусор насчет «дальнейшего углубления хищнической сути империализма», «классовой солидарности», и «хода истории, который никто не может повернуть вспять», как будто паршивая немецко-еврейская борода уже раз и навсегда установила все направления.

Эти идеи произвели своего рода торнадо в сознании полковника между первым и вторым звонком телефона. Не буду отвечать, подумал он и снял трубку.

Бессчетное число раз в своей жизни товарищ Черночернов благодарил свое благоразумие за то, что оно брало верх над идеями. Вместо всех этих вздорных голосишек из парткома он услышал единственно кого уважал безгранично, шеф-повара посольской столовой, самого Егора Егорова! Автоматически он встал по стойке смирно. Звонки Егорова всегда касались самого важного и самого деликатного. Управляя одним из ключевых секторов посольства (кто будет недооценивать значение питания персонала в осажденной крепости?), этот дюжий курчавый волжанин, основательно за полета, на самом деле отвечал за все тайные операции в США и Канаде, а потому имел чин генерал-лейтенанта.

— Хей, Федот-дот-дот-дот, хау ар ю эва янг? (Привет, Федот-да-не-тот, как твое ничего-себе-молодое?) — сказал Егоров. Он явно не собирался обсуждать империалистическую агрессию и классовую солидарность. — Как насчет «малость прогуляться» вместе? Давай глотнем свежего воздуха на Хэйнс-пойнт, а? Отлично!

С добродушным смешком генерал добавил к приглашению:

— И на всякий случай не забудь свой английский зонт, олд фэллоу. В прогнозе кратковременные дожди.

С легким укором совести полковник Черночернов понял, что его одинокие несоветские променады не остались не замеченными старшими товарищами.

Час спустя он ждал генерала на Дюпон-серкл. (Проницательный читатель, конечно, уже догадался, что Хэйнс-пойнт был кодовым именем для площади Дюпона.) Не без симпатии он наблюдал за своими сотоварищами-вашиントンцами, которые к этому времени начали показывать первые признаки оживления после изнуряющей летней парилки в болотистом параллелепипеде у рек Потомак и Ана-костия. С первыми порциями осеннего прозрачного воздуха люди жадно возобновили свои прогулки и околачивание вокруг фонтана и поперек двух кольцевых проездов, которые делают Дюпон одним из наиболее вывихивающих мозги транспортных узлов в мире.

Две группы собирали деньги в сквере. Одна обогащалась для дальнейших атак против Стратегической оборонной инициативы. «Красные выродки», прошептал полковник и ничего им не дал. Другая алкала поддержки в их борьбе против аятоллы Хомейни — Черночернов дал им однодолларовую бумажку. Наслаждайтесь своей борьбой, персы! Ударим еще раз по позорному отродью бесноватых подонков шаксей-ваксея 1829 года, убивших посла нашего просвещенного Императора, гениального драматурга Грибоедова! Еще один долларовый удар во имя будущей Рос... Лимиты, товарищ полковник, лимиты, лимиты...

Он не отказался от своего обычного несоветско-пробританского маленького маскарада, поскольку они уже знали об этом, и генерал, конечно, отличил бы его от толпы без задержки даже под этими бровями, усами, баками, мятой шляпой и т.д. Время их встречи, однако, пришло, но никто не подошел к нему, кроме пожилого черного джентльмена, который с вежливым поклоном опустился на дальнем конце скамьи.

Чернокожий в классическом синем блейзере был похож на отставного метрдотеля, скажем, из «Хей Адаме» или «Мэдисона». Во всяком случае, он принадлежал к тому разряду людей, которыми округ Колумбия может гордиться. Он открыл свой «Уолл-стрит джорнэл» и закурил ароматную сигару. Не без мимолетного удовлетворения Черночернов подумал, как их скамья может выглядеть издали: два джентльмена, белый и негр, оба несоветские.

Десять минут, однако, прошло, а генерал так и не появился. Негр высказался о «хорошей погоде», а потом представился как Тимоти Инглиш, первый помощник старшего официанта «Хэй Адамса», в отставке. Черночернов пожал его руку и сказал слегка заикаясь: Джордж Шварценеггер, в прошлом офицер разведки. Простите, больше ничего не могу рассказать. Очень приятно познакомиться, сэр.

Черночернову было действительно очень приятно сделать такое славное знакомство в консервативных кругах, однако, увы, генерал мог обеспокоиться присутствием этой весьма общительной персоны, что сразу же после знакомства начинает увлекательный разговор о Ближнем Востоке.

Чувствуя себя как на иголках, Черночернов уже готов был покинуть скамью, когда пожилой черный консерватор вдруг произнес с сильным русским акцентом:

— Кончай, мэн! Не оставляй меня!

Это был, конечно, не кто иной, как генерал Егоров собственной персоной. «Браво», прошептал Черночернов с благоговением. Наша русская агентура всегда вне конкуренции!

— Ты тоже выглядишь неплохо, — сказал генерал снисходительно. — Хотя, позволь мне сказать, Дотти, ни один англичанин никогда не наденет носки с такой искоркой... О'кей! Вольно! У нас сегодня есть о чем поговорить.

Они оставили Дюпон-серкл и пошли вниз по Коннектикут-авеню, этой улице Горького американской столицы, заполненной в тот момент толпой энергично шагающих к ланчу «молодых-городских-профессионалов», «йаппи» или, если сокращать русское определение, «могорпрофов». Повернув направо, они достигли «М»-стрит как раз в момент ее блистательного восхождения к статусу Пикадилли. Здесь, на углу «М» и «19», бросающей вызов Старому Арбату, товарищ Егоров позволил себе потратить толику своих оперативных фондов, то есть взять столик в открытом кафе. Принимая меры предосторожности против возможного подслушивания, генерал, конечно, не упустил из внимания смесь запахов из ресторанов «Вкуснятина», «Сплетни» и «Слухи». Как всякий подлинный знаток кулинарии, он был и ее фанатиком, и идея когда-нибудь начать другую жизнь, то есть дефектнуть из КГБ на кухню, никогда его не оставляла.

Он начал с незначительной, хотя — он усмехнулся — вздорнейшей, нелепейшей темы.

— Можешь себе представить, Джордж, Хранилище выпустило приказ пробудить еще одну «спящую красавицу». Она (или он) мирно дремала последние пятьдесят лет и до недавнего времени никому в Хранилище и дела не было до этого ископаемого. Как ты знаешь, у нас тут немало этих «засонь», этих бесполезных «кротов», подготовленных во время холодной войны на всякий случай. Клянусь, большинство из них и думать забыло о своем предназначении. Чего от них можно ждать? Ничего, кроме неприятностей, конфузий, неоправданного риска. Ребята там, в Хранилище, здоровы в старании, слабоваты в познании, просто озабочены тем, что «засони» перейдут в лучший мир, не получив от них ни одного задания и тем самым испортив их говенную статистику. Можешь представить, Джордж, просто ради их драгоценных геморроев эти бюрократищи готовы пожертвовать безупречной репутацией знатных кулинаров и других высококлассных специалистов!

Черночернов, попыхивая трубочкой, кивал с полным пониманием. Вполне понятно, что у Егорова есть все права ворчать по поводу гужеёв из Хранилища, тогда как у него, полковника Черночернова, этих прав не может быть ни при каких обстоятельствах.

Завершив свой ланч, два почтенных несоветских джентльмена предприняли долгую прогулку пешком через даунтаун к авеню Конституции, где и погрузились в так называемый турмобиль, состав открытых вагончиков, оборудованных безостановочно бормочущим голосом гида, что делало любую попытку подслушивания бессмысленной. Вряд ли можно найти лучшее место в округе Колумбия для обмена сверхсекретной информацией, чем экскурсионный турмобиль!

— Теперь давай о деле! — сказал генерал. — О настоящем деле. Прежде всего, Дотти-дорогой (я надеюсь, ты не возражаешь, что я тебя так называю, очень уж это мне нравится), прежде всего, я просто не могу разобраться, зачем сюда этого профессора Фофановфа, этого пня с ушами, прислали...

— Прислали? — Черночернов был поражен. — Ты хочешь сказать, Тим, что он... хм... все же один из нас?

Знаток кулинарии усмехнулся и потрепал по плечу советника по садовым культурам. Их поезд в это время проходил мимо Мемориала вьетнамской войны. На поверхности земли не

было ничего, впрочем, можно было мельком уловить вид своего рода траншеи с отражающей мраморной стеной, перед которой стоял народ.

— Замечательная идея, — заметил генерал. — Просто пара срезов лопатой, траншея, ничего больше. Наши халтурщики воздвигли бы тут гигантского истукана...

Искоса он внимательно посмотрел на Черночернова.

— Я думал, профессор Фофанофф еще не был... хм... посвящен, — произнес Черночернов. — Конечно, я хотел ему предложить, но, честно говоря, побаивался нарваться на бестактность. Вы знаете эту проклятую современную интеллигенцию...

— Ну, а теперь, — продолжал генерал Егоров, как будто не удивление Черночернова, а наблюдение мемориала прервало его высказывание, — теперь некоторые новые инструкции просветлили ситуацию. Можешь представить, Дот-дот-дот, Хранилище снова держит под прицелом Либеральную лигу Линкольна. День за днем они требуют как можно больше информации об этой чертовой лиге, как будто в Вашингтоне нет ничего важнее.

— Я себе язык вывихнул, убеждая их, что Тройное Эл не имеет ничего общего ни с ЦРУ, ни с НСБ, ни с НАБ, ни с какой другой секретной группой, что это просто частная организация с не очень отчетливой программой и с целями, ясность которых оставляет желать лучшего, иными словами, это не что иное, как то, что мы называем говорильней; все мои усилия — понапрасну! Хранилище настаивает на усилении внимания к Яйцу Генри Трастайма, как будто это гигантский Фаберже. Задницы заклепанные сисси бойз! Ручаюсь, нет ни одного человека в Комитете, кто понимал бы до конца, что такое американская частная фаундация, с чем ее едят. Жуткую штуку скажу тебе, Дотти, но даже и я со своим впечатляющим стажем работы в стране до конца не понимаю...

— Я тоже, — вздохнул полковник.

— Хранилище теперь приходит к колоссальному открытию и откровению, — продолжал Егоров. — Оказывается, библиотека Яйца обладает самым острым идеологическим материалом в мире, дневником Достоевского периода его азартных игр в Висбадене, Германия. Большое дело, скажешь ты? Вот именно, большое дело! Смысл в том, что как раз в этот же период геноссе Карл Маркс тоже играл в Висбаденском казино и, согласно последним исследованиям оболтусов из Высшей школы марксизма-ленинизма, два гиганта современного мира встретились и столкнулись в яростной дискуссии о сути коммунизма и о природе человечества.

— Улавливаешь, Дотти? Рад, что улавливаешь и понимаешь, что в центре бояться недружелюбных замечаний по поводу Маркса в дневнике Достоевского. Короче говоря, содержание этого заклепанного полусгнившего манускрипта спрятано в сверхсекретном американском Яйце, в настоящий исторический момент, если его использовать в идеологической войне, может привести к цепной реакции разочарований и отречений в странах «третьего мира», а это вызовет глобальное уничтожение... чего?... Правильно, Дотти-дорогой, вот именно этого!

Секунду или две секретные сотрудники смотрели друг другу в глаза, потом подтолкнули друг друга локтями и расхохотались.

— Посмотри-ка на этих двух джентльменов, черного и белого, — сказал французский турист своей жене. Пара, облаченная в вельвет и демонстрирующая ненавязчивый шик Левого берега Сены, совершала экскурсию в том же вагончике турмобиля. — Такие признаки расовой гармонии нынче можно уловить только в Соединенных Штатах.

До недавнего времени профессор Абажур и его таинственная супруга, которой, в соответствии с традициями французских литературных мистификаций, приписывалась, по крайней мере, дюжина скандальных романов, были известны как ярые антиамериканцы, хотя в течение долгих лет их леворадикальной активности пара ни разу не путешествовала за океан. Потом внезапно и на этот раз в полном соответствии с основным законом диалектики количество собранных познаний трансформировалось в качество приобретенного мышления, и пара совершила полный поворот, чтобы стать непреклонными проамериканцами. Со времени того исторического поворота пара начала пересекать Атлантику ежемесячно, туда и обратно, как будто их новые убеждения обеспечивали существенную скидку на билеты. По иронии судьбы, дело обстояло как раз наоборот, старые убеждения срабатывали. Американская академическая община приветствовала их с энтузиазмом и приглашала в университеты как раз за их ранние, противоречивые, так сказать, взгляды, а вовсе не за

нынешний столь великодушный подход к атлантическому партнеру. В этом деле все зашло так далеко, что им приходилось делиться своими позитивными впечатлениями об американской жизни во время прогулок, но уж никак не под сенью Тройного Эл, где они пребывали на годичной стипендии, чтобы не повредить своей столь выгодной антиамериканской репутации.

— Ты прав, Бу-бу, — сказала мадам Абажур, пользуясь одним из их постельных уменьшительных. — И обрати внимание, черный джент даже выказывает некоторое чувство превосходства в отношении белого друга.

Турмобиль тем временем пересекал Вашингтонский Мол, имея по правому борту захватывающий вид вирджинского заката, мощный четырехгранный обелиск Вашингтона и значительно освещающее Яйцо Либеральной лиги Линкольна. К полному восторгу французской пары один из участников сцены расовой гармонии, а именно генерал Егоров, вынул фляжку доброго спиритуса, основательно приложился и передал своему компаньону, а именно полковнику Черночернову.

Диалог разведчиков продолжался.

— ...Ну, Джордж, Дотти, дорогой кореш, слушай, что старый Тимоти тебе скажет по этому поводу. Мы не теоретики, мы простые люди «плаща и кинжала». Им там виднее, что лучше, что хуже для нашего дела; тем более что... хм... они там теперь одержимы древним языческим мистицизмом, переоценкой некоторых ключевых фольклорных персонажей. Сама форма этой заклебанной штуки сводит их с ума — Яйцо! Если ты еще сам не знаешь, позволь мне выдать тебе один из наших высших секретов. Только что построенный, чудо техники, авианосец будет назван «Кашей Бессмертный». Понял? Нынче концепция бессмертности, понимаешь ли, их главная забота!

— Так что, — продолжал генерал, сделав еще один глоток стимулирующего напитка, -...мне как бы положено отложить в сторону все другие дела, включая и проект похищения невидимого бомбардировщика «Стелс», который мне так дорог, и сделать своей главной заботой какую-то паршивую перебранку между двумя гудилами сто двадцать пять лет назад. Иными словами, мы должны любой ценой заполнить дневник Дости...

Полковник усмехнулся:

— Не думаю, что это такая уж чертовски сложная задача. Вполне возможно его получить просто по программе межбиблиотечного обмена. Вряд ли в Вашингтоне есть хоть одна живая душа, интересующаяся этим хозяйством...

— Молчок, дорогуша! — Егоров прижал к губам свой палец, что выглядел как природный отросток магического корня женьшень. — Бюджет для нашей оперативной группы уже утвержден и одобрен. Нельзя разочаровывать руководство. В группе у нас четыре человека — я, ты, Петруха и профессор Фофановф, и — все путем. Уловил?

В ответ последовал утвердительный глоток из фляжки, после чего Егоров деликатно, но решительно вернул сосуд под свою личную протекцию; пока не поздно.

— Самая конфиденциальная часть последних инструкций касается Фофановфа. Мне кажется, что Хранилище разработало специальный сценарий для его пребывания в Тройном Эл. Так что, Дотти, в ближайшем будущем тебе придется выйти на него с деликатнейшей миссией.

— А чего же особенно деликатничать, если он один из нас? На этот раз генерал усмехнулся.

— А то, что он может этого и не знать. Он мог попросту и забыть самый счастливый день в его жизни. С такой женой, как Марта, тебе должна быть знакома эта вонючая профессорская рассеянность. Так что придется кое-что напомнить нашему беби Филлариону и сделать это деликатнейшим образом.

— Между прочим, Джордж, глянь-ка на этого вроде бы французского хмыря с его подружкой. Они нам улыбаются, будто хотят раздавить с нами пузырь на манер наших мужиков в Москве. Давай-ка выйдем, пока мы не исчерпали наши стратегические ресурсы.

Отмахнув чужакам добрый старый американский «гуд бай», два джента, не без некоторой юмористической фривольности, высадились на углу 14-й улицы и авеню Конституции. Клюква, апельсины и фисташки в огромном объеме вирджинских небес сияли сквозь могучие кроны платанов и каштанов. Тени реактивных лайнеров скользили вниз, к аэропорту Нэшнл, словно мыслящие существа. Короткий предсумеречный момент, пока не загорелись еще фонари вокруг Эллипса, момент, заполненный грохотом столичного часа пик, самый подходящий момент для самой секретной части разговора.

— Ну, а теперь давай поговорим о нашей собственной проблеме, о нашей, ты понял, собственной беде... о Зеро-Зет...

Черночернов вздрогнул:

— Что... что... об этом... об этой... оно уже?...

Егоров закурил сигару. Воплощение стабильности, опора здравого смысла... И только товарищи по оружию знали его как человека рефлексий, сомнений, забот, рафинированного интеллигента и нежную душу.

— Можешь смеяться, Дотти, но даже пол Зеро-Зет для меня — туман... Маскулиnum? Фемининум?... И все это дело — тайна, обернутая в загадку... Проклятая штука иногда принимает мои команды, иногда нет... иногда задает мне леденящие душу странные вопросы... Вначале, как ты понимаешь, я подумал — перевербовали! Кто от этого гарантирован в округе Колумбия? Но позже, анализируя входящие и исходящие данные, я был потрясен — а что, если О — вообще ничьих команд не принимает?

— Звучит устрашающе, Тим! Ты думаешь, О — действует по своему усмотрению?

— Как раз об этом я и думаю. Ты, должно быть, помнишь ту славенькую «селечку» в баре «Завсегдатай небес»?

— Матушка родима! Для чего?

— Для ничего, мой друг! Для Зеро! Для нулевого смысла, по елевой логике. Держись, за что можешь, мой бесстрашный и безупречный рыцарь тайной войны, но, похоже, что-то поломалось в проклятой штуке. А самое худшее, что нам не под силу опознать О — среди четырех миллионов жителей Большого Вашингтона, тогда как Хранилище наотрез отказывается дать мне свои коды. Стратеги! Да я и флайинг-фак не дам за их стратегию. Они просто не способны понять, что судьба цивилизации на ставке. Иногда я задаюсь вопросом, дорожат ли они нашей западной цивилизацией...

Полковнику Черночерному показалось, что генерал Егоров жалобно хлюпнул в этот момент. Он уже готов был предоставить ему свой локоть — чувство локтя, не этому ли нас учили с ранних пионерских лет, локоть товарища! — когда генерал вдруг страстно прошептал прямо ему в ухо:

— Единственное, что я знаю о О — это то, что проклятая штука тоже шьется вокруг Яйца!

За минуту до того, как зажглись фонари, черный «Линкольн» с маленьким советским флажком на крыле остановился возле дворца Организации американских государств. Можно только удивляться, как успел генерал столь быстро сбросить своей маскировочный «негритюд» и вернуться к своей исконной белой и рябоватой наружности. Ни полковник Черночернов, ни даже наблюдательный шофер майор Петруха не заметили, когда произошла перемена. Вот вам они, высшие квалификации!

## Мягкие Столкновения

Как хорошо известно в столице, стипендиаты и феллоу Смитсоновского института и Либеральной лиги Линкольна предпочитают снимать квартиры неподалеку от Мола, то есть на юго-западе, у реки Потомак. Однажды сюда и Филлариона Фо-фаномфа доставили, и сделала это библиотечка Филлисита Хиерарчикос в своем клевом открытом «Фольксвагене». Бросив первый взгляд на кварталы жилья, расположенные вдоль рядов фонарей и пятен неживой растительности, Фил восхитился: «Ну и место! Вызывает в памяти „теорию бесконфликтности“, времена расцвета Социалистического Реализма! Взгляните на эти безупречные линии пейзажа, на эти ряды столбов, увенчанные каждый тремя фонарями! Вы называете это Ланфан плаза? Клянусь, это Комсомольск-на-Амуре! Тысяча первый сон Веры Павловны Чернышевского! Какая утопия, какая ностальгия! Лучшего места для советского человека не найдешь!»

Пара тараканов, бодро пробежавших по стене в односпальной квартире кондоминиума «Седьмое небо», ничуть не уменьшила его восторга. Как раз наоборот, наоборот, наоборот... извольте, мы вальсируем... Дунайские волны... Амурские волны... Амур, амур... о, да, амурные волны Чесапикского залива... Фелиситата Хиерарчикос на гребне волны!

Пока на седьмом этаже гремела вся эта медь Старой Европы, весьма располагающий к себе молодой человек в свежестиранном тренировочном костюме явился в подвальный офис управляющего и сказал, что хочет снять студию в этом же доме.

«Йаппи, кажется, облюбовали наш кондоминиум», — подумал управляющий и немедленно поднял цены на шесть и две десятые процента. Шоковая волна — то есть одна из этих дунайско-амурских волн — произвела всплеск в нервных компьютерах Вашингтонского рынка

недвижимости, что через несколько минут отразилось на Уолл-стрите и вызвало неожиданный взлет акций Доу Джонс и колоссальный прибой оптимистических прогнозов. Ничему нельзя удивляться в этом современном мире взаимозависимости. Тем временем орды тараканов в панике неслись вниз с седьмого этажа «Седьмого неба».

Джим Доллархайд живо предвкушал будущее соседство с объектом своих профессиональных интересов, но, увы, как раз в этот день, когда он привез свои пожитки, Филларион съезжал из «Седьмого неба». «Проклятые иностранцы, больно умные стали, — ворчал управляющий. — Этот буйвол только перепугал наших постояльцев своим вальсированием, а теперь забрал заявление обратно. На месте правительства я... эх, если бы я на месте правительства...»

«Что происходит, — думал Джим с чувством необъяснимой горечи. — Похоже, что он просто наставил мне нос. Неужели он знает, что я хожу за ним по пятам? Неужели он действительно шпион?»

В существенном отступлении от избранного нами жанра мы хотим выдать один из секретов сюжета. Мысль о том, что кто-то ходит за ним по пятам, никогда не приходила в голову Филлариона. Более того, он вряд ли когда-либо замечал своего молодого обожателя. Просто он передумал селиться в «зоне бесконфликтности», и произошло это из-за случайного столкновения с прошлым.

Третьего дня, раскатываясь на доске с роликами вдоль Мола, он умудрился сокрушить велосипедиста, который оказался никем иным, как мистером Аликом Жукоборцем, доктором наук, его бывшим помощником в Московском институте литературы и лингвистики.

— Ба! — вскричал доктор Фофанофф.

— Ба! — ответствовал сокрушенный бывший помощник, ползающий в ногах сокрушителя в попытках найти свои очки, чтобы убедиться, что он не ошибся, что перед ним и в самом деле его бывший наставник Фил Фофанофф, а не гризли, не горилла, не слоноподобный подросток из Гейлсбурга, штат Иллинойс.

Невзирая на большую плешь в форме Новой Зеландии, Алик Жукоборец был молод. Эдакий сорокалетний юноша. До своего выезда из страны всех надежд он считался восходящей звездой в секторе суффиксов и префиксов. Теперь, десять лет спустя после совершения акта эмиграции, или, как писали советские журналисты времен застоя, «совершения трагической ошибки, граничащей с преступлением против родины», он все еще считался восходящей звездой в соответствующем секторе на этой стороне Атлантики.

Итак, они не виделись десять лет, и все оставалось по-прежнему — страсть, любопытство, пересекающиеся и сшибающиеся курсы академической рассеянности. Ни филларионовское пузо, ни жукоборческая плешь не изменились ни в размерах, ни в форме. Ситуация в лингвистике, по всей вероятности, тоже не изменилась: столкновение на углу 3-й улицы и авеню Независимости говорит само за себя.

Так или иначе, они снова овладели своими транспортными средствами и поехали вместе вдоль вашингтонской щедрой меморабии, обелисков, памятников, музеев. Прохожие всех рас и национальностей застывали в изумлении при виде двух ездовых, не обращавших внимания на уличное движение.

— Очень сожалею, что налетел на тебя, Алик, — сказал на ходу Фил Фофанофф. — Тысяча извинений.

— А я и не знал, что ты в этой стране, Фил, — сказал доктор наук Жукоборец. — Если бы я знал, я бы поосмотрительней катался на велосипеде. Давно здесь?

— Десять дней.

— Десять дней! Ты шутишь, должно быть! Не хочешь ли ты сказать, что еще десять дней назад ходил по Арбату? Ну-ка, расскажи мне про арбатских девок! По-прежнему магнитны? Нет-нет, на эту тему мы попозже. Сначала поведай про Сашку Шейлоха. По-прежнему шарлатанит с моими суффиксами и префиксами?

— Саша Шейлох все еще в тюрьме. Он, знаешь ли, получил семь лет за статью «Суффиксы и префиксы в идеологической войне».

— Шейлох в тюрьме! — вздохнул Жукоборец не без некоторой зависти. — Сидит за мою тему! Дорого бы я заплатил, чтобы вытащить его из тюрьмы и сказать ему напрямую, что я думаю о его шарлатанстве в области благородных частиц речи.

— Ну, что ж, гласность медленно, но верно открывает двери наших тюрем, — сказал Фофанофф. — Думаю, что к тому времени, когда я вернусь, Саша уже будет, как обычно, стоять на голове на своем балконе над улицей Горького, и никто уже не будет подозревать его

в связях с ЦРУ-Гласность и гладкость, разве они не сестры? Мы уже подметили, не так ли, что склонность к мягкому скольжению была одной из уникальных черт нашего шестидесятикилограммового профессора. Ну, посмотрите на него, каков самокатчик, леди и джентльмены!

Велосипед Жукоборца очертил несколько символов бесконечности — 888.

— Не верю своим ушам! Ты что, действительно хочешь вернуться? Что? Ты не эмигрант, как мы все, Фил? Ты просто участник программы научного обмена? Невероятно! И ты не боишься разговаривать с эмигрантским отребьем?

— Боюсь ли? Не более, чем быть трахнутым чучелом саблезубого тигра!

— Какого тигра, Фил?

— Саблезубого.

Оба ученых спешили и обняли друг друга как раз перед пряничным фасадом Смитсоновского музея, в котором упомянутое выше чучело саблезубого тигра мирно отмечало в этот день свое шестидесятилетие.

Насмешливый крик «Два русских пугала!» пролетел над ними вместе с головокружительным облаком пота и духов, сверкнула сиреневая молния. Другой какой-то велосипедист мощно прошелестел мимо, будто колесница Артемиды. Задний вид гонщика не оставлял у зрителей ничего, кроме тоски по всем мыслимым земным восторгам.

— Кто это?! — вскричал Филларион, охваченный дуновением вечно юной Эллады.

Жукоборец пожал плечами. Прекрасно зная, кто это и что это означает, он решил по каким-то причинам не опознавать грозного наездника. Вместо этого он сказал:

— Теперь-то я понял, кто ты такой, мистер Хобот-Пробосцис!

— Что ты имеешь в виду, мой бедный Алик?

— Сегодня утром за табльдотом я подслушал разговор о каком-то несколько необычном советикусе... Видишь ли, Фил, твой бедный Алик целый месяц был в отлучке, рыскал в пустынях Северной Канады в поисках суффиксов «кртчк», «мрдк», а также «чвск». Вообрази, я обнаружил их следы. Идет новая лингвистическая революция!

Они быстро ехали по Могу, этому главному вашингтонскому бульвару, в сторону самого убедительного в мире символа плодородия, окруженного пятьюдесятью флагами, трепещущими в постоянном желании оплодотворения. Перескакивая с темы на тему, они наконец допрыгнули до жилищного вопроса.

— Неужели ты действительно решил поселиться в «Седьмом небе»? — вскричал Жукоборец. — Да ведь это же просто-напросто Фелиситатина ловушка для деревенщины! Приличные люди живут в окрестностях Дюпон-серкл! Это же наши медовые соты, сексуальная, интеллектуальная и гастрономическая игровая площадка. На юго-западе, дорогой Хобот, никто не оценит твоей внешности, твоей гладкости, твоего порыва к перестройке, а вот на Дюпоне каждый увидит в тебе своего, и твой отъезд будет там оплакиваться как непоправимая потеря!

Вот что случилось с доктором наук Фофановым в середине сентября, а потому ранне-сентябрьский вальс с Фелиситатой пропал зазря. Заглядывая вперед, мы предполагаем, что случайное столкновение с вездесущим вашингтонцем Аликом Жукоборцем может сыграть важную роль в развитии нашего сюжета. Когда время придет, мы, разумеется, распечатаем несколько секретных писем из магического ящичка дистрикта Колумбия, стиснутого между невинным брюхом штата Мэриленд и не менее невинным горбом Вирджинии. Пока что, увы, мы можем только догадываться, почему Алик не пригласил Фила поселиться в своем Кондо дель Мондо, хотя там имелись свободные квартиры. Случайно так получилось, или намеренно?

## Миниатюрные Демоны

По совету Жукоборца Филларион снял студию на тихой Дикэйтор-стрит, которая начинала свое скромное течение возле одной из самых элегантных площадей Вашингтона, Шеридан-серкл, только для того лишь, чтобы угаснуть, не добравшись до назначения, развеселого Дюпона. Студия увенчивала собой четырехэтажный таун-хаус, принадлежащий отставному адмиралу и послу без портфеля. Сам адмирал-посол Дринквотер вместе со своей миловидной женой занимали просторный английский полуподвал с обилием роз на заднем дворе и с алебастровым херувимом на передовой позиции.

Филларион обожал хозяина дома, особенно в те моменты, когда заставлял его в клетчатых брюках, стоящим возле херувима, как сущее воплощение нескгибаемой англо-саксонской

культуры. Ему также очень нравилось жить под самой крышей, хотя узкая лестница явно не была рассчитана на слоноподобных обитателей. Иной раз, забираясь наверх, в соответствии с законами трения, он улавливал запах чего-то паленого, но зато после восхождения можно было любоваться большим объемом неба, а также наслаждаться пузырящейся ванной «джакузи», расположенной прямо под книжными полками, заполненными впечатляющим собранием консервативной мысли, от Генри Адамса до Ирвинга Кристола. Приобщаться к могучему источнику стабильности среди горячих пузырей модернизма, ну и дело! На триллион долларов физзи-фаззи!

Комната сама по себе была не очень большой, но зато она выходила на обширную, не менее тридцати квадратных метров, террасу, что давало Филлариону возможность танцевать перед сном «Танец маленьких лебедей». Густая растительность вокруг террасы закрывала виды и глушила все звуки с улицы. Из-за этой закрытости возникало странное чувство, которое Филларион однажды определил как чувство предсуществования. Впрочем, эта растительность, думал он иногда, дает мне возможность в любой момент прыгнуть в нее головой вперед и раствориться в зеленом. Он вряд ли смог бы объяснить свою идею растворения в зеленом, но тем не менее этот выход в джунгли чем-то его определенно устраивал. Ему никогда не приходило в голову, что этот запасной выход в равной степени может быть удобным трамплином для вторжения.

Это последнее событие случилось раньше, чем ваш покорный слуга мог бы ожидать. Вопреки авторским намерениям и пользуясь близорукостью Филлариона, некто, одетый в армейский камуфляж, великолепно замаскировался(лась) среди безучастной мешанины темно-зеленых листьев, прямо напротив всегда открытых дверей студии.

С этой позиции некто мог (могла) без всяких препятствий наблюдать любое движение профессора Фофановфа. В тот вечер, например, о котором мы хотим рассказать в этой подглавке, он(она) наблюдал(ла) Филлариона, пока последний стягивал с себя свой гулливерского размера тренировочный костюм. Сняв костюм, он смотрел на свое почти голое отражение в большом безжалостном зеркале. Скорбное выражение на его лице в этот момент позволяло делать разные предположения — то ли он был лишним раз огорчен избытком своей плоти, то ли он просто думал о какой-нибудь проблеме литературоведения, например, о «последовательности синонимов» в гоголианской прозе.

Потом скорбь отлетела от его лица, и он, не без детского восторга, начал облачаться в обновки, голубые панталоны, синий пиджак, и крепко утверждать на голове свой пресловутый шапокляк. Теперь сам президент республики островов Ватанату позеленел бы от зависти при виде такого отражения!

Уже собравшись уходить, Филларион приоткрыл штаны, извлек орган и погрузился в следующий раунд каких-то размышлений. Его отшельник (когда-то, к восторгу посетителей «Искусства», он действительно называл его «мой милый отшельник») выглядел не вполне под стать всему гигантскому остальному, но тем не менее был приятно очерчен и донжуанственен.

«Славная штука, — думал(а) некто, сдерживая свое дыхание. — Что они имели на самом деле в виду, называя его Хобот?»

Филларион стряхнул задумчивость, положил немного какой-то мази на левую сторону «своего милого отшельника», затем закурил сигару и забухал вниз по узкой лестнице. Законы трения! Бесенята рассеянности! Истины ради мы должны сказать, что он отправил отшельника восвояси только уже после выхода наружу, то есть в том смысле, что после отвешивания глубокого диккенсовского поклона госпоже Дринквотер, то есть в том смысле, что уже оставив ее за спиной, с открытым ртом, очки набекрень, луковицы тюльпанов рассыпаны. Преисполнившись чувства полной искренности, мы должны признать, что полный порядок в его туалете был наведен только пару часов позже во время приема в Каннон-холле Американского сената, когда бразильский политический советник сердечно прошептал в его ушную раковину: «Ваш люк открыт, дорогой товарищ, камарадо!»

Тем временем... м-м-м... ну, хорошо, давай уж, вперед-вперед, хватит испытывать терпение читателя!...

Как только шаги Филлариона замерли внизу, некто в камуфляже пружинисто выпрыгнул из джунглей на террасу, а затем без задержки прокрался в студию. Первое, что поразило его (или ее) внутри, было ощущение, что он (она) не один (не одна). Что происходит? Может быть, эти многочисленные чертовы Филларионовские домашние животные создают это обманчивое ощущение чьего-то присутствия?

Эти, так сказать, домашние животные ползли по стенам, парили вокруг люстры, раскачивались на шторах, свисали с потолка, плели в углах паутину — кузнечики, майские

мухи, жуки, муравьи, москиты, бабочки, стрекозы, осы, пауки... Филларион никогда не удосуживался выключать свет, все отверстия его подкрышной берлоги светились ночь напролет, привлекая несчетные рои миниатюрных демонов вашингтонского парного лета.

В два или три скачка некто в камуфляже выключил все лампы, а затем зафиксировался в стиле «ниндзя», то есть почти исчез. Сверхчувствительные линзы, которыми обладал незванный гость, не требовали ни ватта электричества для того, чтобы запечатлеть окружающий мерзкий хаос: скомканные бумаги, бесчисленные книги навалом, создающие картину недавнего землетрясения, пару ножниц и несколько дюжин срезанных с ногтей полумесяцев рогаговицы, пучок полуседых курчавых волос (откуда взятых? не из поэмы ли Бродского?), увеличительное стекло, неряшливый разброс дешевых пищевых материалов — конфетки «джели-бинс», кукурузные хрустелки «читос», козинаки «грану-лабар» и тому подобное.

Озадаченные насекомые, ведомые их непобедимым инстинктом двигаться в сторону того, что светлее, разочарованно жужжа, покидали ранее столь гостеприимное помещение. Затем чудовищный удар сокрушил внутреннюю структуру незванного гостя.

«Рушится, рассыпается на части Рим моего тела, — горько думал Джим Доллархайд, коллапсируя на полу. — Мамуля, дядя Роджер, взгляните на эти языки бешеного огня, прислушайтесь к зловещим разрядам грома... Пора сказать „прости“ моей внутренней цивилизации!»

Последнее, что прошло через сознание спецагента, было видение молодого японца, с которым они неделю назад обменивались испепеляющими взглядами в «Лямбде на взводе». «Жаль, что я не убежал с ним из моего Рима до того, как тот развалился». После этой, пожалуй, странной идеи Джим отключился от мировой энергетики.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### Флора И Фауна Посольского Квартала

Опытный читатель не будет, конечно, слишком удивлен, обнаружив, что наш блистательный сыщик все-таки выжил к исходу первой трети романа. Да, он уцелел и через две недели после беспощадной атаки на его «внутренний Рим» Джим, выглянув из окна своей квартиры на Висконсин-авеню, обнаружил, что портик Кафедрального собора напротив стал лучше различаться сквозь листву. Началась великолепная среднеатлантическая осень.

Несмотря на то, что доктор Каузешвитц строго рекомендовал дать его печени и почкам еще одну неделю горизонтального положения, Джим отложил в сторону «Историю русской литературы романтического периода» и надел свои панталоны для гольфа. Больше он не мог ждать: так сильно было желание увидеть ЕГО вновь.

Даже и не видя его, даже и среди тлеющих руин своей «внутренней цивилизации», наш сверхчувствительный профессионал улавливал аромат чего-то необычайного, исходящего от слоподобного русского во время беспечных прогулок того по трехзвездному граду. Шпион он или не шпион, что-то совершенно невероятное должно произойти с ним или вокруг него, думал Джим.

Третьего дня он снова натолкнулся на, или, вернее, споткнулся о короткий призыв в секции объявлений «Нью-йоркского книжного обозрения». Призыв гласил: «Среднего возраста особа м. пола, внушительной заметной внешности, быстрая смена убеждений, полный набор скверных привычек, пение, фехтование, курение сигар, ищет общества дамы эфирного поведения, от 20 до 60. Звонить по телефону... или заходить без предупреждения... Дикэйтор-стрит, Вашингтон Ди Си...»

Как чудно было бы зайти к предполагаемому шпиону под маской дамы эфирного поведения! Но кто может гарантировать, что эту даму не встретят на Дикэйтор таким же, как и раньше, сокрушающе гостеприимным образом? Гош, я просто умираю... увидеть это чудовище! Легче, легче, спецагент, легче! Вы все еще в отпуске по «производственной травме», и вы все-таки не Ее Величества номер 007, мистер Бонд, чтобы перенести второе покушение на ваш внутренний... Да, сэр, на мой внутренний Рим, сэр... — что бы это там ни было — короткое замыкание или суперэлектронный призрак из КГБ.

Так или иначе, сегодня — никаких серьезных решений, но почему не глотнуть свежего воздуха? Почему не предпринять личную беспечную прогулку по Массачусетс-авеню,

необязательно даже до угла Дикэйтора, а просто, ну, хотя бы до памятника Роберту Эммету, ирландскому патриоту?

В общем-то, я даже могу немного продвинуться и дальше, но, конечно, даже не взглянув в сторону Дикэйтора, а просто полюбоваться видом генерала Шеридана, вечно осаживающего своего боевого коня зазеленевшей меди. Почему нет? Если бы только Джим Доллархайд знал, каким будет результат его беспечной прогулки!

Тем временем объект этих жарких мыслей возлежал на своей шаткой кушетке, известной уже населению Дюпон-серкл как «лежбище Фила». В глубоком мохнатом гроте, образованном его ухом и плечом, он держал телефонную трубку.

В русском сленге есть словечко «кореш», так вот именно с корешем корешился в данном случае арбатский авангардист: достопочтенный Генри Тоусенд Трастайм был на проводе.

ГТТ: «Интересно, чем ты сейчас занят, мой нерадивый и вечно юный кентавр? Ручаюсь, бьешь баклуши, не так ли?»

ФФ: «Дунул в лужу, кореш! Я чертовски занят, выколачивая блох непристойностей из своего последнего трактата. Ну, а вы, достопочтенный? Где вы слонялись после того, как сквозанули из своего яйцеподобного чистилища? Тоже блошек выискиваете, только из другого места? Готовы признаться и раскаяться?»

ГТТ: «Довольно нахальное предположение, мой Хобот! Впрочем, может быть, подсознательно я действительно жаждал раскаяния, хоть и не мог этого выговорить... В данный момент, Фил, ты в стабильной позиции?»

ФФ: «На всех четырех опорных точках, Ваша честь, то есть на обеих ягодицах и на обеих лопатках».

ГТТ: «И никакие центробежные силы тебя не крутят, мой гордый друг?»

ФФ: «Ничего, кроме томного снобского голоса, который заставляет меня думать о преждевременном мужском климаксе, вызванном программой „Современные лидеры“ в рамках Гарвардского университета».

ГТТ: «Не сыпь соль на раны, зверь и гад! Я собираюсь тебе рассказать о самой предосудительной неделе в моей жизни после шестидесятых».

ФФ: «Ты сейчас звонишь из Ки-Уэста или из Провин-стауна?»

ГТТ: «Ну-ну, зубрила-мученик! Хоть я и отдаю должное твоей пронизательности и быстроте, с которой ты опознал любимые становища нашей голубой элиты, должен сказать, что в данном конкретном случае ты зашел слишком далеко и, парадоксально, не дотянул до цели в своих догадках. Ну-ка, включи свою уникальную способность разгадывать сплетни и еще раз попробуй!»

ФФ: «Если провести параллель с шестидесятыми, ты звучишь так, как будто пустился в какое-то распутство, в какие-то эскапады с девочкой вроде Ленки Щевич».

ГТТ (с некоторым клекотом, с горячечным придыханием): «Попал, ублюдок! Это она, моя любовь, моя память, мое очарование!»

ФФ: «Не хочешь ли ты сказать, прелюбодей, что встретил Ленку?»

ГТТ: «Вот именно! Я не мог себе места найти с того времени, когда ты сказал, что Ленка осела в Штатах, просто потерял центр тяжести! Ты не помнишь, Фил, наш полночный разговор в уборной Одесского аэропорта? Я тебе сказал тогда, двадцать лет назад, что Ленка была единственной женщиной, что подтянула во мне подпруги?»

ФФ: «Подтянула тебя к супруге?»

ГТТ: «Подпруги моего существования, болван! А после недавних воспоминаний я подумал, что она могла не очень-то сильно измениться с той волшебной, апреля 1968-го, призрачной, непостижимой ночи вокруг „Искусства“.

ФФ: «С той галактической ночи, ты хочешь сказать?»

ГТТ: «Спасибо, старина, именно галактической ночи! Ей сейчас под сорок, ну, что ж, девочки такого типа долго не меняются. Она могла остаться все той же Ленкой, моей девушкой...»

ФФ: «И моей девушкой, осмелюсь сказать, а также и вообще, так сказать, общей девушкой...»

ГТТ: «Это не имеет значения! Ты понимаешь, что я хочу сказать, эта пронизывающая женственность...»

ФФ: «О, о, о...»

ГТТ: «Вообрази, найти ее оказалось несложно. Алик Жукоборец — разумеется, не без многозначительной ухмылки — сразу же дал мне адрес: Диван-стрит, Чикаго. Ее муж,

господин Ясноатаманский, владеет там автоматической прачечной „Оптимистическая трагедия“. Я мигом выскочил из Яйца и помчался в аэропорт Нэшнл, не оставив своей милой Джоселин даже намек на свое местонахождение. Я знаю, что мое поведение безобразно, непростительно, но с другой стороны, знаешь ли, Фил, моя Джоселин всегда была психологически подготовлена к такого рода эскападам, несмотря на то, что мое положение в обществе уже сделало евнухом бывшего сатира.

О, дорогой мой Пробосцис, как только самолет оторвался от земли, я увидел вокруг бескрайнее новое море. Помнишь, как в «Улиссе»? «Сжимающее мошонку море...»

ФФ: «Я дико извиняюсь, Генри, но надеюсь, ты не изгонишь меня с берегов своего „нового моря“, если я взмолюсь о короткой паузе. Мне нужна передышка, чтобы переварить тебя в образе бывшего сатира».

Короткая пауза.

ФФ: «Благодарю. Пожалуйста, продолжай, мой бывший сатир».

ГТТ: «Продолжаю. Вообрази себе, с каким трепетом я подходил к „Оптимистической трагедии“! Я был уже готов увидеть опустившуюся тетку или чопорную еврейскую матрону, которая и смотреть на меня не захочет. Даже не узнает с другой стороны, я страшно боялся узнавания. Что я скажу ей, если мои ужасные ожидания оправдаются?

Несколько раз я прошел мимо «Трагедии», украдкой заглядывая внутрь. Рядом находился магазинчик фокусов с разными масками к Празднику всех святых, и я даже — верь, не верь — думал, не купить ли мне там резиновый нос. Бывший Дон-Жуан стал жалким влюбленным увальнем, влюбленный в прошлое Дон-Жуан... Тебе нужна еще одна пауза, мой друг?

ФФ: «Ничего, ничего... я уже привык к твоим... м-м-м... метафорам».

ГТТ: «Так или иначе, я в конце концов оказался внутри. В „Оптимистической трагедии“ было пусто и спокойно. Можно было слышать только жужжание трех стиральных машин, три другие бездействовали. Потом где-то в глубине скрипнула дверь. Охваченный паникой, я бросился к одной из бездействующих машин и начал забрасывать в нее все, что я мог постирать в этот момент: платок, шарф, галстук, часы...

ФФ: «Моющиеся часы?»

ГТТ: «В этот момент я был готов уже бросить свои туфли в ненасытную пасть, когда услышал смешок за своей спиной. О, такой знакомый смешок! Я повернулся медленно, как будто для того, чтобы предстать перед расстрелом. Это была Ленка Щевич во плоти!»

ФФ: «Во плоти? Значит, это не было дуновением мечты, звуком лопнувшей струны? Это была действительно Ленка Щевич во плоти, да? Простите, сэра, но мне нужна еще одна передышка».

ГТТ: «Просьба отклоняется. Ты можешь упражняться в своем загребальном остроумии как хочешь, но ты должен слушать меня далее без передышек, хотя бы в соответствии с кодексом поведения цивилизованного человека».

ФФ: «Продолжай, продолжай, силь ву плэ!»

ГТТ: «Как мало она изменилась! О нет, прости мне эту банальность, она ничего не скажет о ней. Она не была моложе своего возраста, но она была все той же! Той самой девчонкой, с которой я столкнулся на исходе той головокружительной „разл-дазл“ ночи двадцать лет назад... тот же огонек в этих лживых глазах... та же немедленно ободряющая, очаровательная искусительница... Тот же язык движений... поворот этих худеньких плечиков, что заставит любого мужчину забыть обо всем, кроме неудержимого желания... о да... защитить их всей своей мощью...

Остолбенев, я стоял перед ней с парой монет в руке. «Сэр?» — сказала она. Жужжание трех работающих машин. Мои вздорные постирушки в четвертой. «Мне нужны монеты», — пробормотал я. «Нет проблем», — сказала она. Проклятье, вот что она может написать на своем гербе — «Нет проблем!» Как я мог упустить этот простейший момент, этот вполне доступный, хоть и извилистый проход к истине? Если нет проблем на Земле, почему мне всегда не хватало спонтанности?

«Спонтанности», — словно эхо повторила она. Думал я вслух или нет, но по какой-то причине она вдруг надела большие слегка розоватые очки и внимательно в меня всмотрелась. Меня пронзило острое ощущение — конечно же, снятие с нее этих очков будет моим первым шагом в процессе нашего нового сближения. Близорукость и обнаженность, разве они не сестры?»

ФФ: «Конечно, сестры!»

ГТТ: «Саху?» — сказала она и потом по-русски: «Ну и ну, да это же Сакси!» Помнишь, многие ребята в «Искусстве» звали меня тогда Сакси?

...Через два часа мы уже были в воздухе, направляясь в сторону Надветренных островов. Это было сродни эзотерическому путешествию к перевоплощению. Не помню уж, когда и где мы начали наше соитие, в воздухе ли еще, или в такси на Сен-Мартене, в лифте ли отеля... Эти перехватывающие дыхание, ошеломляющие ощущения вокруг копчика, ты не забыл, как мы об этом говорили?»

ФФ: «Как я мог забыть одну из важнейших вех жизни? Всю ночь в позорном узилище мы толковали о копчике и даже решили написать об этом совместное эссе. Что касается меня, то я никогда не забрасывал этой идеи, тогда как ты, проклятый англо, забросил тему копчика сразу после освобождения ради своей вшивой массачусетсности!»

ГТТ: «Никогда не забрасывал! Копчик — это моя самая сокровенная тема! И теперь, когда мое жизненное путешествие вдруг сделало резкий поворот из выжженной пустыни к...»

ФФ: «Прости, что перебиваю, мой Секси-Сакси, но ты бы лучше вместо всей этой многословности попробовал со своей партнершей пуститься в левитацию. В таком состоянии, в каком вы сейчас находитесь с Ленкой, а я не сомневаюсь, что она у тебя под боком, вы можете преодолеть силу притяжения земли и во время очередного соития оторваться от земли. Эй, Щевич, привет! Слышишь меня?»

Голос Ленки: «Слышу, Хобот, слышу!»

ФФ: «Ну, давайте, попробуйте левитацию! Не хотите? Что за чудачество? Вот странные люди, не хотят попробовать левитацию. Экое чудачество, в самом деле!»

Пожимая плечами — отказываться от упражнений по левитации, что за чудачество? — озадаченно просвистывая свой нос, — встретиться после двадцати лет, сбежать на франко-голландский остров, это капище греха — топорщилась дикообразная грива на затылке, — жевать друг дружку до самой корки и не сделать ни малейшей попытки левитации! — профессор Фофановф последовательно покидал свое «лежбище», вошел в туалетный шкаф, вышел оттуда, одетый с привычным шиком — ну, знаете ли, что за чудачества!

Привычно бросая вызов законам трения, профессор спустился по лестнице, вышел на Дикэйтор-стрит, поклонился послу Дринквотеру с супругой, которые стояли на своем газоне с садовыми орудиями в руках, словно истинное воплощение американской готики. Отправился вниз по Дикэйтор. Впечатляющая тень его рябила под налетом стаи мелких облачков, бойко бегущих над столицей нации. На углу Дикэйтор и Масс Филларион остановился, чтобы отвесить еще один поклон, на этот раз огромной магнолии.

Благодарю тебя, дерево магнолии, за дополнительный кусочек гармонии! В твоём лице я глубоко кланяюсь всем вечнозеленым. Без вашей непобедимой листвы генерал Шеридан выглядел бы дезертиром с поля боя.

О, спасибо, спасибо, среднеатлантический мороз великодушный, за благотворный массаж, который ты даешь моим кровеносным сосудам! «Румяный критик мой, насмешник толстопузый!»... Большое спасибо, северо-восточный ветер, 15 миль в час, за то, что превращаешь дым из трубы пакистанского посольства в стремительного ирландского сеттера, за то, что спускаешь его с поводка в погоню за собственным хвостом над крышами мавританских, викторианских, греческих, классических, декадентских и колониальных виллджинских особняков и таун-хаузов.

Флора и фауна посольского квартала, спасибо за все, особенно за этот экземпляр вымирающей породы, Эмили Дикинсон в дизайнерских джинсах и в жакетке из рыжей лисы! Спасибо тебе, серокаменный дом, наполненный загадками югославского коммунизма, за то, что дал мне шанс сделать вокруг тебя резкий поворот и увидеть мост Дамбортон с четырьмя зеленоватыми бронзовыми буйволами. Четыре грозных зверя, стерегущих сооружение, которое без них не стоит и копейки...

Тем временем наш храбрый сыщик, спецгент Джеймс Доллар-хайд двигался вниз по Масс-авеню, самым дружеским образом обозревая фасады иностранных посольств и консульств. Вот британское, подлежит охране от террористов ИРА; индийское, хм... держи ухо востро с сикхами; японское... о, иес... имей в виду их собственных ублюдков из Красной Армии; турецкое... б-р-р-р... наблюдай за армянами...

«Что это за бледный тип тащится мимо с такой подозрительной улыбкой на устах?» — думали соответствующие офицеры безопасности в их посольствах. «ИРА? Красная Армия? Армянин? Обестюрбаненный сикх?»

Завершив полный круг вокруг генерала Шеридана, Филларион Фофановф остановился возле скульптуры Роберта Эммета, вдохновенного ирландского патриота. Шапки долой, джентльмены, перед вечно бушующей юностью, единственной надеждой Перестройки! Он вынул сигару и сел на скамейку перед монументом. Ему нравилось походить на местную персону, что просто возымела привычку попыхивать сигарой в этом окружении.

В следующий момент Джим Доллархайд, слегка покачиваясь, тоже приблизился к мемориалу Роберта Эммета, имея в виду короткий привал на скамейке. Прекрасно натренированный для встреч самого неожиданного характера, он все-таки вздрогнул при виде объекта его столь интенсивных раздумий и стремлений, который задумчиво попыхивал сигарой как раз на этой скамье.

— Доброе утро, — сказал Фил Фофановф с приветливой, хоть и рассеянной улыбкой. Разве это не чудесно вот так вот запросто сказать «гуд морнинг» проходящему юноше, который по каким-то причинам выглядит словно погорелец Великого Рима?

Доллархайд ответил со старомодным поклоном:

— Вы, должно быть, поздняя птичка, сэр, если этот чертовски зрелый пополудень все еще утро для вас.

Филлариону понравилась добродушная шутка так же, как и выражение «чертовски зрелый пополудень». Он открыл коробку «Генри Риттенмайстера», предложил по-русски:

— Не угодно ли?

— Спасибо, что-то не хочется. Перенес землетрясение, знаете ли. Моя наружность говорит сама за себя. Даже этот худышка, — Джим кивнул на ирландского патриота, — выглядит здоровее.

Пуф-паф, голландские колечки русского восторга.

— Мне нравится, как вы говорите о мистере Эммете, этом жалком воробушке революции. Должен признаться, сэр, что я испытываю некоторое тяготение к этой юной персоне. Возможно, потому, что его бронзовая внешность чем-то напоминает моего соотечественника Александра Пушкина.

— Позвольте предположить, сэр, — мягко сказал спецгент, — что вы имеете в виду Пушкина перед выпуском из Царскосельского лица?

Пуф-пуф-пуф, колечки восторга рассеялись вокруг со скоростью стрельбы безоткатной мортиры. Слух не изменяет мне? Прохожий на Массачусетс-авеню толкует о Пушкине лицейского периода?

Вот так они встретились, подозреваемый в шпионаже любимец мировой академической среды профессор Филларион Ф. Фофановф и его злополучная тень, оперативник контрразведки ФБР Джим Ф. Доллархайд.

Они понравились друг другу.

— А почему бы нам не завернуть в «Рондо», Фил? Не заморить червяка?

— Ну, разумеется! Впрочем, Джим, ваше предложение сворачивает меня с сегодняшнего курса. Я собирался покататься на коньках возле Национального архива. Почему бы нам вместе не предаться этому дивному занятию, а уж потом закатить сказочный пир?

— Хм, хм... я не очень-то сильный конькобежец, Фил, да к тому же, знаете ли, эти последствия землетрясения... все эти приливы и пожары...

— Легкое катание вылечит вас, Джим! Скольжение по льду обычно смягчает сожженные поверхности внутренних цивилизаций... Что это вы стали заикаться, Джим? Я вижу, вы согласны.

В такси Филларион дружески повернулся к Джиму.

— Ну, а кроме русской литературы, Джим, кто вы? Джим ответил с широкой улыбкой:

— Нештатный аналитик при Центральном Разведывательном Управлении.

— Потрясающе! — вскричал Фил. — Ни разу еще не встречал никого, связанного с этим впечатляющим учреждением, хотя в дистрикте Колумбия, наверное, немало таких, как вы.

— Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина, — засмеялся Джим.

— Замечательно! Все эти американские тайные действия, это захватывает, как песнь муэдзина!

— Бога ради, Фил, чья песня? Почему муэдзина? Филларион смущенно пожал плечами.

— Ну, просто я подумал, что это так же странно, загадочно, маняще, как песнь муэдзина. Я всегда, например, мечтал увидеть детектор лжи. Скажите, нет ли какого-нибудь шанса провериться на такой машине?

Джим лез вон из кожи, чтобы не потерять самообладания. Кто кого тут дурачит?

— Вы серьезно, Фил? Хотите пройти тест на этом дьявольском империалистическом устройстве?

— Если вы мне это устроите, Джим, я буду у вас в долгу весь остаток моей жизни.

— Легче сказать, чем сделать, — промямлил молодой агент. — Впрочем, я попробую...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### Новозвклидова Геометрия

Пока два новых друга ехали в такси на каток, два старых друга, а именно отставной первый помощник старшего официанта при жаровне отеля «Хэй Адаме» и Джордж Шварценеггер сидели под тентом кафе «Рондо» и с одобрением наблюдали свободный в манерах молодой народ всех мыслимых рас и полов. Британец нет-нет да бросал особенно внимательные взгляды на нежного юношу-черногорца, который обслуживал соседний столик, что, конечно, не ускользнуло от внимания вашингтонца.

— Так или иначе, Дотти, — сказал генерал Егоров в свободной раскованной манере, как будто речь шла о здешней футбольной команде, — сегодня ты должен будешь сказать нашему другу о том, что мы от него ждем на данный момент.

— Однако, Тим... — пробормотал полковник Черночернов.

— Никаких «однако». Дотти, дорогой, — мягко, хотя и не без легкого взвизга кухонной утвари в голосе сказал генерал. — Люди нашего призвания не могут пренебрегать словом «Надо»... — Он приблизил губы к уху полковника, что напоминало пластиковую игрушку, и жарко шепнул: «Надо, товарищ!»

— Кто же спорит? — сказал Черночернов, но потом добавил с некоторым камикадзовским напором в голосе: — Однако могу я все-таки попросить об элементарной страховке? Можешь ты гарантировать, что Зеро-Зет не вмешается в мою сегодняшнюю операцию?

— Увы, не могу, несмотря на мое самое горячее желание, — мягко сказал Егоров. — Всю последнюю неделю проклятая штука не отвечает на мои запросы. Похоже, что он — или она, или оно — становится все более дерзким, если не враждебным, в своем непослушании.

— Надеюсь, что он, по крайней мере, не имеет доступа к нашим коммуникациям, — предположил Черночернов с искоркой истинной надежды в его глубоко упрятанных зрачках.

— Прости, Дотти, но он имеет доступ, — вздохнул генерал. Кажется, он меня опять испытывает, прошло в голове полковника. Мурашки поползли по коже.

— Послушай, Тим... ведь за малейшее нарушение... хм... этики наши самые уважаемые... ммм... сотрудники подвергались... ну-у-у — суровым взысканиям, что ли, а тут какая-то вонючая ШТУКА...

Мистер Тимоти Инглиш был старомодным пунктуальным человеком. Он посмотрел на свои увесистые швейцарские часы (тридцать лет беспорочной службы) и снова вздохнул.

— Боюсь, тебе уже нужно идти к нашему весоному другу, Шварценеггер. Хвост пистолетом, мальчик! Я верю в свою интуицию, а она определенно говорит, что сегодня ты подвергнешься не большему риску, чем любой посетитель кафе «Рондо».

Заплатив по счету, они вышли из этого сомнительного места, где между столиками витают вполне крейзанутые идейки, ну, например: почему не засунуть кредитную карточку меж ягодиц молодому черногорцу?

Как только они свернули за угол, тент кафе рухнул, причинив посетителям немало неприятностей по части пятен на одежде, а также спровоцировав щедрый показ всякого рода царапин и синяков. Три человека, а именно ассистенты Либеральной лиги Линкольна Розы, Пинки и Монти Блю были срочно отправлены в Джорджтаунский госпиталь и зарегистрированы там по графе «состояние стабильное».

Грандиозное здание Национального архива, это самое надежное в мире хранилище высших тайн и мелких секретов, фальшивых и истинных признаний, косвенных и прямых улик, оплаченных и неоплаченных счетов, включая и счета бакалейщика и зеленщика с далекой Шпигельгассе в городе Цюрих, примыкало к самому скользкому месту, если и не в мире, то в

городе, где конгрессмены, лоббисты, сотрудники Белого дома и Национального совета безопасности, члены дипломатического корпуса и общины разведчиков кружились, бросая несколько снисходительный вызов законам трения, однако и не забывая об определенном почтительном поклоне законам тяготения.

Опять споткнулись, Доллархайд? Это ничего! Ув-ва! Главное, что вы должны уловить на катке, это чувство ритма, а это придет! Опять на пятой точке, дорогой друг? Не унывайте! Ритм катания — это просто часть ритма Вселенной, подобно ритмическим движениям в плавании или в совокуплении. Ув-ва! Поздравляю, сэр, я только что наблюдал ваш самый близкий подход к маятнику Вселенной! Чем суровой обстоятельства ученичества, тем большее наслаждение вы получите от чувства всеобщей глади, которое у вас неизбежно прорежется в самом ближайшем будущем.

Внезапно Филларион заметил пару знакомых, увлеченно проделывающую серию искусных, хотя излишне кокетливых пируэтов. Это были доктора наук Урсула Усрис и Алик Жукоборец, и выражение их лиц находилось в остром контрасте с развеселым рисунком, который их коньки чертили на ледяной пленке. Руки их были перекрещены, но лица отвернуты прочь друг от друга и светились взаимной ненавистью.

И не без причины, леди и джентльмены! Всего лишь десять минут назад красивые фигуристы столкнулись лбами на теме славянских суффиксов и префиксов. Весь этот недавний шухер вокруг ваших слюнявых русских частиц, особенно вокруг этих загребальных кртчк, мрдк, чвск, которые вы якобы нашли — о Боже! — в Канаде, не что иное, как подделка, типичная русская переоценка более чем скромных культурных достижений, сказала Урсула, выгибая свои неотразимые губы в форме сердцевины плотоядной агавы.

Вы, вы... Доктор Жукоборец вспыхнул от возмущения. Вы, австралийская невежда, посягаете на наше великое лингвистическое наследие только для того, чтобы утвердить свой агрессивный феминизм!

С момента этого грозового разряда идей они не проронили ни единого слова, не переставая в то же время кружиться по льду в полном синхроне. Хотелось бы, чтобы этот хмырь был бы хоть наполовину так же синхронен в других областях деятельности, думала Урсула презрительно.

Потом вдруг слоноподобный русский, это ходячее, вернее скользящее посмешище, Его Жироподобие Фил Фофанофф появился, как с неба свалился. И распростер свои объятия, как рожденная на Борнео горилла.

— Урсула, душка, богиня сирени!

— Я тебе кренделей накидаю за «душку» и за «богиню сирени», — сказала она вежливо. Она всматривалась в фофаноф-фского дружка, шатконового молокососа, очевидной жертвы довольно приличного землетрясения. Очень знакомое лицо. Спала я когда-нибудь с этим малым или просто сталкивалась, не замечая? И что означает это восхищение, которое сверкает сейчас в его глазах? Пятнадцать лет назад в Канберре я бы сказала, что это любовь с первого взгляда.

Встретившись таким вот не столь элегантным образом, четверка затем, окрестив руки, образовала хоровод. Дикая эйфория охватила Фила.

— Я мост! — вскричал он. — Я снова мост! Что он имеет в виду, думали его партнеры.

Этот же вопрос интересовал и еще одного господина, который предпочитал кататься в одиночестве и не попадаться на глаза. Японский ученый Татуя Хуссако опровергал все стереотипы своих земляков. Он пренебрегал коллективизмом, сдержанностью потребностей и чувством такта. Хоть был и тощ, а не переставал жевать, являя образец обжоры. В тот момент, когда мы уловили его промельк на катке, он как раз кончал сосиску под соусом «чили». Жирные коричневые капли рассеивались вокруг в подтверждение его всегдашней бестактности. «Что означает это „снова мост“, — подумал Хуссако и стал поспешно линять, как будто это и не он накапал.

Тем временем талантливый Джим Доллархайд катался все глаже и глаже, несмотря на то, что его внутренний мир снова вошел в турбулентную зону. Новозевклидова геометрия действовала. Ледяная поверхность рябила. Отражение колоннады Национального архива перепуталось в диковинных конвульсиях. Внутри и снаружи все как-то извращалось, отклонялось, ревербировало. Грандиозная Вселенная спецагента Джеймса Доллархайда рухнула, к полному стыду группы «Лямбда на взводе» первая же встреча с лиловыми глазами австралийки подкосила твердый свод его убеждений и склонностей. Гош, я никогда такого еще не испытывал к женщине!

Внезапно хоровод распался. Будто что-то вспомнив, мисс Усрис полетела к выходу. Боже упаси, как бы вдруг не потерять ее из виду! Джим отчаянно рванулся вслед и в непостижимом, чертовски дерзновенном пируэте умудрился схватить ее за локоть.

— Але, друг, — сказал он задыхаясь. — Сваливаем? В чем дело? Что-нибудь с мочеиспусканием?

Ей понравилось, как он адресовался.

— Да ну, надо позвонить, — сказала она.

— Мой Бог! Да кому же?! — воскликнул он. Она усмехнулась.

— Хорошо вопросец! Прямо по существу, мэн. Если бы я знала. У меня сегодня просто свиданка — вслепую.

— С мужчиной или женщиной?

— Эй-эй, мэн! Камнями по воронам, ты звучишь, как сыщик!

Некоторое время они стояли, глядя друг другу в глаза, два существа ныне процветающей породы, мужчина на его неопытных шатких ногах и женщина, каждая из чьих ног напоминала хорошо тренированного серфера из Южного океана.

Горе мне, думал Джим. Барометр падает. Влажность возрастает. Ветер из Мексиканского залива, смешиваясь с зимним экспрессом озера Онтарио, образует над Вашингтоном огромную чашу черной смородины, тяжелое темно-лиловое облако, чреватое молниями. Ну и момент! Как я могу не думать, что все это имеет прямое отношение ко всему делу?

Она расхохоталась, неожиданно нежным манером отделилась от трепещущего новичка и исчезла. Лиловое в лиловом.

## Продвинутый Плацдарм

Когда бы полковник Черночернов ни взглядывал на свою законную супругу Марту Арвидовну (урожденную Нельше), перед ним возникали проклятые полки латышской Красной пехоты, этой гвардии революции, которую он всеми фибрами ненавидел. И не без причины, дорогой читатель. Марта Арвидовна, казалось, родилась пехотинцем, ее тяжелая, все сотрясающая поступь выглядела как убедительные фразы коммунистического манифеста.

Как мог я, человек не без вкуса, жениться на этой костлявой балтийской кобыле, думал Черночернов в тоске. Единственное, что оставалось в утешение, — все валить на Останкинскую ВПШ, именно там они и возникали, эти несообразные брачные предприятия.

Товарищ Марта только что вернулась из месячного отпуска, который она наполовину провела в партийных архивах, а наполовину в партийном санатории «Красные камни» у подножия Кавказского хребта. Была она — несмотря на все принятые медицинские меры — чертовски желчна и раздражена. Проклятое тухлое чудовище капитализма опять преодолело свой периодический кризис, цинично сверкая, оно поигрывало всеми копытами. Поступь истории опять, к полному разочарованию, замедлилась.

Товарищ Марта винила русских за эти раздражающие задержки в поступательном движении, этих русских с их блудливостью, с их постоянной склонностью к коррупции. Если бы всех их заменить трудолюбивыми и честными латышскими членами, коммунизм уже торжествовал бы на планете.

Увы, мы имеем полторы сотни миллионов бесстыдников и бездельников и только два миллиона, совместно с ГДР, тех, кто действительно заслуживает держать знамена Готического Марксизма!

— Куда ты собираешься, Черночернов?

Она стояла перед полковником с дымящейся папиросой в ее длинных хреноподобных пальцах. Жизнь не очень щедра ко мне, подумал Федот с пронизывающим чувством самосострадания.

— Я должен идти... в город... по делу...

Она надела внимательные очки на мост своего необаятельного, но зато первоклассно тевтонского носа. Все можно принять, любую дрянь, что жизнь для вас подготовила, но эта гребальная Марта Арвидовна! Он упал на колени.

— Клянусь, Марта!... Моя партийная совесть чиста!... Ты знаешь, мне мало нужно от жизни... Ради нашего дела, во имя Великого Отечества... иа, иа, натюрлих... ради интернационализма... не пощажу ни малейшего куска моей грязной кожи, ни кубика моих вонючих легких, ни песчинки из засоренной печени, ни...

— Хватит! — воскликнула Марта Арвидовна, с отвращением глядя на своего рыдающего, дрожащего, слегка конвульсирующего мужа. Как могло случиться, что это жалкое создание попало в нашу разведку, иначе говоря, на наш продвинутый плацдарм?

— Я предупреждала тебя перед отпуском, что если ты не прекратишь шляться вокруг «Лямбды на взводе», я сообщу куда надо!

Полковник расхохотался в самом тревожном, истерическом — пфуй, таком русско-достоевском — позорном стиле. Его подошвы отбивали чечетку на вертикальной поверхности стены.

Любимая Мартина картина — Ленин и Сталин на интимном плетеном диванчике — перекосилась. Вдруг зазвонил телефон.

— С возвращением, Марта!

Она вздрогнула. Шеф звонит, собственной персоной. Отчетливо доносились звуки, реверберирующие в огромных пространствах посольской кухни.

— Не возражаешь, если я заскочу на минутку? — спросил Егоров в своей такой приятной все смягчающей манере. — Хочу наших ребятшек побаловать вашими знаменитыми картофельными «цеппелинами», а единственный у нас знаток балтийских рецептов это ты... Федот-то-не-тот-тот-тот-то небось в городе по своему садово-культурному бизнесу, да? Ну, ничего. Все будет в полном порядке.

Полковник был уже в вертикальной позиции, сух и спокоен. Марта Арвидовна отмахнулась от него — иди уж, ничтожество! Снова она была глубоко впечатлена всезнающими и всемогущими революционными органами. Все-таки русский русскому не чета.

### «Саппоровское Бочковое»

«...В принципе, гольф, невзирая на все ссылки и экивоки в сторону кругов высшей буржуазии, имеет много общего с самыми первобытными видами труда, а именно с косьбой. Вглядитесь внимательно, джентльмены, в мои движения, когда я произвожу свинг. Разве это не напоминает хорошего советского колхозника с его обожаемой косой?»

Тренируя своих новых друзей в искусстве гольфа, Джим Доллархайд чувствовал, что руины его внутренностей в этот момент охватывает мощный процесс самореконструкции. Что было причиной оживления его обычно бурного метаболизма — первые успехи на льду ли, лиловые ли глаза насмешливой ин-теллектуалки, невероятный новый кореш профессор Фофанофф или просто поток космической энергии, который можно поддерживать только двухсторонним движением щедрости — дать и взять, взять и дать... это было не очень-то ясно и, по сути, не имело значения. Он просто чувствовал, что границы Молодого мира расширяются, в то время как недавние угрызения совести по поводу запятнанной голубой репутации съезживаются.

Жадно наблюдал он окружающую среду — залитые солнцем зеленые плоскости Хейнс Пойнт, сверкающие пространства воды и неба, похоже было на берега Вселенской гармонии, несмотря на запах жаровни «барбикью».

Джим определенно не был одинок в его приподнятом состоянии. Два других гольфиста, Филларион Фофанофф и Алебастр (Алик) Жукоборец, тоже были явно захвачены новыми горизонтами. Первый, с отчетливым желанием вновь сыграть роль моста, сжал кисть Алика, как наручниками, двумя пальцами левой руки и навалил на плечи Джима ярмо своего правого локтя.

— Разве мы не трио, старики?

— Трио, трио! — прозвучал двойной ответ.

Затем на садовой скамье появилась упаковка «Саппоровского бочкового». Жукоборец лицемерно вздохнул.

— Поскольку мы уже трио, хочу поделиться с вами своими сомнениями. Вы оба, мужики, истинные люди Ренессанса, а что я могу предложить на благо нашего союза? Единственное, что приходит в голову, — это моя исключительная близость к веселящимся кругам города. Как насчет этого, ребята, интересно вам будет приблизиться к веселящимся кругам города, иными словами к рафинированному дебоширству?

— Очень даже интересно, — последовал двойной ответ. — И чем скорее, тем лучше.

— А как насчет той лиловоглазой леди? — осторожно спросил Джим. — Она тоже близка к веселящимся кругам города?

— Урси Урси? — хохотнул Алик. — Посмотри, Фил, Джим-то наш заторчал на Урси Урси!

— О, доктор Уррис, — вздохнул Филларион. — Жаль, что она так ненавидит нашу великую русскую культуру!

— Знаете, Джим, она одна может заменить все веселящиеся круги города, — сказал Алик. — Давайте выпьем за наше трио!

Три банки с пивом, похожие на гранаты времен Второй мировой войны, поднялись над головами. Как это чудесно, думал Джим, и только опять же непонятно, кто кого дурачит.

На самом деле наше трио давно уже было квартетом: Татуя Хуссако хихикал за кустом.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### Слепое Свидание С Близоруким

Госпожа посланница Дринквотер глянула в глазок парадного и увидела за дверью чрезвычайно благонадежного джентльмена. Да, есть еще в мире некоторое число людей, чья наружность с первого взгляда говорит, что человечество еще не потерпело поражения. Долго не думая, она открыла дверь.

— Добрый вечер, мисс Дринквотер, — войдя, визитер снял свою ирландскую шляпу. — Меня зовут Уайти Уайт, мэм, Дотти Уайти Уайт к вашим услугам. Я из теоретических кругов.

Господин посол уже поднимался из своего подвального кабинета. Ему тоже с первого взгляда понравилась наружность визитера. Черт побери, с такими ребятами в запасе мы еще имеем некоторые шансы!

— Это мистер Майти Майт из теоретических кругов, дорогой.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал посол.

Ну, какой приятный феллоу! В наши дни не каждый, о, далеко не каждый умеет держать чашку чая должным манером.

— В наших теоретических кругах, сэр, мы сильно озабочены сейчас быстрым развитием серии спонтанных событий в постоянно ухудшающейся ситуации. О, да, мэм, недостаток, если не отсутствие выраженных напрямую целей и устремлений, вот причина нашей наибольшей озабоченности. Простите, могу я на минутку удалиться и воспользоваться туалетом?

— Посмотри на его походку, Сесиль! Ей-ей, он принадлежит к вымирающей породе джентльменов!

За мгновение до того, как закрыть дверь туалетной, Черночернов катнул в глубину гостиной невесомый мягкий баллончик с усыпляющим газом.

Гуманитарии всего мира, объединяйтесь! Три-четыре часа доброго сна не повредят пожилой паре: небольшие неприятности с пробуждением не в счет.

Когда он вышел из виси (ватерклозета) в биомаске, известной в разведывательных кругах как «нейтральное лицо», супруги мирно бубукали в креслах перед телевизором. Он включил магический ящик — спасибо вам, щедрые творцы сериала «Даллас»! — и проверил телефонный автоответчик. Милейший голосок Сесили обещал звонящим немедленный ответ, — «как только обстоятельства повернутся в желательном направлении, то есть очень скоро». Потом он отправился наверх, стараясь создавать как можно меньше звуковых и визуальных эффектов. Супруга его, очевидно, недооценивала некоторые специфические способности этнических русских, особенно тех, что получили спецподготовку на курсах «Залп» в московском пригороде Растительное Масло.

Разумеется, не Филлариона имел в виду полковник, когда принимал меры предосторожности. Ну, и уж, конечно, не ребят из ФБР и ЦРУ; этих он уважительно величал «коллегами» и в глубине души даже полагал их союзниками; с дальним прицелом, конечно. Зеро-Зет, вот кого больше всего опасался полковник, таинственное, ускользающее существо — или предмет? — которое в «теоретических кругах» считалось потенциально более опасным, чем Чернобыльская катастрофа. Обычно хорошо информированный Черночернов почти ничего не знал относительно проекта Зеро-Зет. Он слышал, что около года назад Хранилище пылало энтузиазмом, в элитарных кругах разведки ходили разговоры, что новое немыслимое, почти научно-фантастическое суперчеловеческое существо вскоре будет внедрено в самую чувствительную сферу «невидимого фронта», то есть в Северную Америку. С этим как бы занималась новая эра, когда практически не останется препятствий ни для каких задач. Что и говорить, в принципе, это было не что иное, как величайший, если не окончательный прыжок к триумфу нашего дела, к победе в мировом масштабе, за которой, как страстно надеялся полковник, последует реставрация единственно законной власти, Дома Романовых.

Увы, энтузиазм вскоре сменился признаками полного недоумения. Зеро-Зет вышел из-под контроля. Хранилище обвиняло Кухню, последняя ворчала по поводу первого. Похоже было, что ни те, ни другие не знали местонахождения Зеро-Зет, не представляли себе даже его (ее?) наружности.

В недавнем разговоре с Джорджем Шварценеггером Тимоти Инглиш намекнул, что он не исключил бы даже совсем неожиданного, едва ли не метафизического перекося в клеточной архитектонике этой структуры, в результате чего мог возникнуть самый лживый, коварный, жестокий и мегаломанический агент в мире. Тимоти однажды просто остолбенел, заметив на ветровом стекле своей секретной «Тойоты» комбинацию пятен, которые расшифровывались, как дерзновенное заявление: «Я шпион на все сезоны!» Это означало, прежде всего, что следует ожидать череды в высшей степени иррациональных поступков, что-то сродни ядерному мелтдауну, а во-вторых, это означало, что неуловимая и вездесущая штука имеет доступ к самым чувствительным линиям наших коммуникаций.

Вот почему полковник Черночернов так нервничал и был даже излишне осмотрителен той ночью. К интуиции генерала Егорова он относился не очень серьезно. Хоть он и не видел драматического крушения тента в кафе «Рондо», он не мог, конечно, исключить чего-нибудь гадкого, оскорбительного или даже угрожающего по своему адресу — оглушающего, что ли, шипения прямо в ушную раковину, конфузной ли серной вони, обжигающего плевка промеж лопаток, посягновения на детородные органы... — чего угодно!

На лестнице ничего не случилось, и он благополучно проник в филларионовскую студию. Как обычно, комната была наполнена густым жужжанием и тончайшим звоном. Похоже, что все представители вашингтонской энтомологии, которые умудрились пережить первые укусы мороза, нашли свое зимнее убежище именно здесь. На всякий случай полковник засунул в щели несколько электронных родственничков этой нечисти и сделал несколько снимков письменного стола. В общем-то, сбор информации не был его сегодняшней целью. На повестке дня был серьезный, прямой мужской разговор.

Внезапно внизу возникли колоссальный грохот и рычание. Уровень звука нарастал с каждой секундой. Похоже было на лавину, которая идет снизу вверх вопреки всем законам тяготения. Затем вся комната была поглощена облаком потных испарений, исключительного возбуждения, похотливых импульсов, патриотической ностальгии и пигментов воображения. Две или три стрекозы и один изможденный кузнечик свалились замертво. Полковник Черночернов едва успел нырнуть под филларионовское лежбище. Проклятье, он не один, миссия проваливается, «шит», дерьмо, этот парень один не бывает, прошептал полковник полусохшей сороконожке, что оказалась рядом с его носом.

Затем в комнату вошел профессор Фофанов. Он был как раз один, хотя в высшей степени романтизирован. Насвистывая мелодию из «Севильского цирюльника», он взялся готовить себе ужин — опять смесь борща и китайского супа «Вонтон», — потом перешел к «Дону Базилио», снова вернулся к Фигаро. И, нароссинизировавшись уже до мельчайших альвеол, наш преувеличенный москвитянин запел своим приятным молодым тенором. Какая жалость, думал полковник не без меланхолии. Вместо того чтобы сформировать вокальный дуэт с такой прекрасной русской персоной, что, безусловно, произошло бы под покровительством щедрой и просвещенной Русской империи, я должен буду затащить его в грязнейшую грязь, в шантаж, обман, вербовку... позорная судьба! Хочешь не хочешь, то, что надо сделать, будет сделано. Черночернов уже готов был выкатиться из-под кровати, когда зазвонил телефон. Какая непростительная ошибка со стороны опытного рыцаря плаща и кинжала! Уж телефон-то должен был быть отключен в первую очередь.

— Хей, — сказал атакующий женский голос. По крайней мере, слуховая техника не подвела полковника. — Это ваше было объявление в «Нью-Йоркском книжном ревью»?

— Да, но это была своего рода шутка, мэм, — промямлил Фил, как будто застигнутый врасплох. — О нет, мэдам...полушутка, полусерьезное предложение... мэм...mmm... внешне это была, так сказать, шутка, в то время как внутренне... будьте любезны, не вопите на меня, мэм!... я очень был бы признателен, если бы вы на минутку... да, я уважаю ваше время, мэм, и, конечно, я уважаю любого активного женского партнера... да-да, сор-ри... не могли бы вы не называть меня больше гудилой, мэм?... Нет-нет, ваше раздражение, мэм, абсолютно беспочвенно, так как я просто умираю увидеть вас как можно скорее...

В какой неловкой позиции пребывал Черночернов! Обнаружить себя, то есть выкатиться из-под кровати в тот момент, когда неизвестный визитер спешает сюда из соседнего квартала, было бы абсолютно преждевременно и неуместно. С другой стороны, пребывание на нижнем профиле неопределенное количество времени лицом вниз могло в конце концов привести к

потере чего?... да лица же, черт побери! Не говоря уже о возможности вместо лица подцепить какую-нибудь серьезную заразу. Конечно, он был достаточно экипирован для того, чтобы выйти из любой западни — возьмите, например, вот этот последний дар лаборатории из Растительного Масла, преотвратительную резинку под кодовым названием «гриб» — достаточно, чтобы на три минуты отключить от реальности целую станцию метро — увы, в арсенале у него не было экипировки для организации дружеского мужского разговора, да ее, кажется, и в природе пока не существовало, кроме... впрочем... молчок!

А между прочим, как получилось, что объявление в «Нью-Йоркском книжном обозрении» оказалось не замеченным сектором садовых культур? Рвением к службе, ей-ей, не могут похвастаться неряхи — лейтенанты Жмуркин, Котомкин и Лассо!

Из своего убежища полковник отчетливо услышал приближающийся вверх по лестнице полет каблучков. Сердце какого мужчины останется равнодушным к полету каблучков вверх по лестнице? Сердце советского монархиста не было исключением.

Паровозное дыхание профессора Фофановфа... Дверь распахивается...

— Джи! — восклицает женский голос, сладкий голос, хоть и насмешливо-вызывающий, то есть не без металлической стружечки. — Ну и воздух! Русские бы сказали, топор можно повесить.

Странно, знакомый голос! Полковник подкатился на одну шестнадцатую своей окружности ближе к «большому миру», как он мысленно уже называл все пространство за пределами своего пыльного убежища. Так ему удалось увидеть узкую туфельку, нервно постукивающую по сомнительному линолеуму. Эта туфелька немедленно пустила в ход всю цепь предположений, которые в конечном счете привели к заключению — туфля принадлежит никому иному, как особе, состоящей под строгим наблюдением сектора садовых культур, доктору наук Урсуле Усрис. Прозвучал ее голос:

— Ну и ну! Это вы, Пробосцис? Не верю своим глазам! Поверю ли рукам своим?

Филларион, очевидно, не мог произнести ни звука и был неподвижен, если не считать пульсации и биения его внутренних органов. Клик! Туфельки мисс Усрис сделали шаг вперед.

— Признавайтесь! Вы именно меня имели в виду, когда помещали свое дурацкое объявление в «Нью-Йоркском книжном ревью?»

— Пуф, пуф... Мисс Усрис... Может быть, тайком от самого себя... в самых глубинных тайниках... Мисс Усрис...

— Делайте ударение на последнем слоге, пожалуйста! Я не собираюсь менять своего имени из-за ваших похабных русских значений!

— О, как угодно...

Клик! Еще один шаг вперед. Не будем тратить время зря, сэр! Невнятный дальнейший разговор задохнулся в мешанине звуков: расстегивание рывками, жиканье молний, шипящие, стягивающие звуки, легкое хихиканье, хулиганские вскрики, странно лопающиеся пузырьки, непостижимое шамканье... затем огромная масса разгоряченной плоти лавиной свалилась на кровать, распластав тело полковника по полу на манер цыпленка-табака в добрых старых средиземноморских традициях.

Голова полковника оказалась в эпицентре чувственного урагана, а его левое, свертренированное ухо самым непостижимым образом непосредственно вовлеклось в эту гормональную оргию. Беспомощный в нарастающем прибое титанических толчков слуховой орган был растерт почти до кровотечения.

Прекращение... молчание... шепот. «Я тебе нравлюсь, Фил?» Непостижимое чмокание и шамканье. «Урси, ты гладкая, как тюлень, и пушистая, как коала...» Журчанье... «Нет, вы посмотрите на этого нахального хамюгу, я для него — тюлень и коала!»

Приглушенный вопль гиганта... «О, не щипайся, мой зяблик!» «Твой кто?»... «О, пожалуйста, не жми так сильно... о, вот так лучше, мой глупыш!...» «Твой кто? Товарищ Фофановф, вы, конечно, невыразимо сладчайший гиппо, но, тем не менее, я вам не зяблик и не глупыш, я — ваш всадник — обезьяна!»

Охваченный паникой, полковник Черночернов сделал отчаянную попытку спасти свое ухо и другие выпуклости головы. Вновь пошли крупные, хотя уже вроде бы и не такие бешеные волны. «...Фил, Фил, давайте не менять позиции, оба партнера только выиграют от этого».

Третий партнер тоже, быстро подумал полковник.

— Вот как чудно! Ну, признайтесь, пользуетесь толчеными оводами? Как, вы даже не пользуетесь толчеными оводами, мой Пробосцис? Невероятно! О'кей, пока мы на этих волнах,

почему бы нам не поговорить о наших общих темах? Скажите, вы действительно верите в существование этих бродячих славянских суффиксов «кртчк», «мрдк» и «чвск»?

— Конечно, верю и обещаю развить свои соображения в очередном докладе, моя драгоценная!

— Ну, знаете ли, сэ, делать пометки в блокноте во время гребальной раскачки! И потом, откуда эта банальность — «моя драгоценная»?

— О, простите, простите меня... моя... моя... жемчужная лагуна!

— Да, да, о да... я твоя жемчужная лагуна...

В конце концов молодая луна пронизала своими лучами листву Посольского квартала.

— Благодарю вас, сэ, за прекрасную компанию, — сказала Урсула.

— Это вам спасибо, — пробормотал Филларион. Схваченный внезапной тоской, он не мог видеть, как сворачивается в обратном направлении его столь прекрасное и неожиданное любовное приключение. Она одевается! Разве это не жестокое возмездие за наши грешные восторги?! Даже такие моменты проходят и пропадают...

— Ты не останешься на ночь, Урсула? — спросил он еле слышно.

— Простите, нет, — ответила она сухо. — Я должна еще поймать последний рейс на Нью-Йорк. Ну, что ж, если я поняла правильно ваше объявление, все прошло достаточно гармонично, не так ли? Нет, нет, пожалуйста не провожайте меня и, пожалуйста, мистер Фофанофф, никогда не называйте меня вашим зябликом и вашим глупышом.

Она помахала рукой на прощанье, направилась к лестнице и вдруг, словно споткнувшись, повернулась и прошептала:

— Впрочем, я не возражаю против Жемчужной Лагуны. Лиловый лучик ее глаза на мгновение пересек серебряный луч луны. Потом она исчезла.

## Теряя Равновесие

Она меня любит! Она хочет, чтоб я называл ее Жемчужной Лагуной! Это был не слепой шанс «Нью-йоркского книжного обозрения», это был направляющий перст... кого? чего?... Россини, господи! Направляющий перст Россини!

Филларион, голый и расцарапанный, как был, выпрыгнул из своего лежбища, дико пролетел на террасу, залитую лунным светом, и произвел там серию невообразимых пируэтов. Пузырящееся средиземноморское кружение захватило его. Не будет ужасным оксюмороном сказать, что, танцуя, он откусывал от большого круга польской колбасы: любовь и голод — это сестра и брат.

Вернувшись с террасы в комнату, он не сразу понял, что здесь изменилось, хотя сразу же понял — что-то изменилось. Довольно дикая идея пришла ему на ум в этот момент: «Красные в городе!» Затем он вдруг понял, что эта его догадка не так уж далека от реальности. За своим письменным столом он увидел советника по садовым культурам при советском посольстве в Вашингтоне лично товарища Черночернова, очки ВПШ сумрачно освещивали на носу.

— Садитесь, пожалуйста, товарищ Фофанофф, — сказал советник, показывая модуляциями голоса, что красные и на самом деле в городе.

— Большое спасибо, — сказал Фил и искренне извинился за несколько неформальный вид. Он сел и подцепил с пола семейные в горошек трусы, часть славного наследия своего деда-деды, великого русского биолога Фонкотова. Просто для информации: он был вылитая копия почтенного ученого мужа.

— Что с вашим левым ухом, Федот Ксенофонтович? — спросил он, выражая глубокую озабоченность и искреннюю симпатию.

Полковник отмахнулся от неуместного вопроса. Предложение чашки чаю было тоже отвергнуто.

— Давайте по делу, Филларион. Вы не вчера родились и, надеюсь, вы понимаете, что вас бы не послали в США без серьезной причины, правда?

В соответствии со старой надежной чекистской традицией, Черночернов сделал значительную паузу, увы, на этот раз надежный психологический прием пропал втуне: счастливый возлюбленный Жемчужной Лагуны все еще выглядел отстраненным и туманным. В центре его внимания по-прежнему было левое ухо полковника.

— Простите, что надоедаю, Федот Ксенофонтович, но я бы предложил вам хорошие обезболивающие лепешки вместе с доброй плюхой отличной кортизоновой мази для вашего

уха. Чертовски виноват, но... оно горит ярче, чем... чем рубиновые звезды Кремля, с вашего разрешения...

Полковник ударил кулаком по столу.

— Какое вам дело до моего уха, Филларион Флегмонтович? Я приехал сюда поговорить о цели вашего назначения в США!

Раздражение советника по садовым культурам не впечатляло Фофаноффа.

Он не перестал надоедать Черночернову до тех пор, пока большой блин прохладного пластыря не закрыл целиком весь поврежденный орган.

— Мочка, хоть и рудиментарна, тоже вызывает сочувствие, — объяснил он.

Только после этого акта милосердия Филларион стал воспринимать откровения других, более серьезных органов.

— Вы хотите сказать, что у меня есть еще и другая задача, кроме продвижения плодотворного сотрудничества советских и американских ученых «как мне объяснили в Академии? Вы хотите сказать, что у меня есть, кроме Академии, еще и другой, настоящий спонсор? Кто же, смею вас спросить?

Дальнейшая затяжка не принесет никакой пользы, подумал Черночернов. Затем он написал на специальной саморастворяющейся бумажке три буквы своего самого любимого и дорогого сердцу акронима.

— Кириллица! Мама миа, советская авиация! Как я по ней соскучился! — начал восклицать Фил. — Не находите ли, сэр, что уже в самом рисунке нашего славного алфавита есть нечто супрематическое? Как они посмели оторвать нашего великого Казимира Малевича от его родных почв? Благодарю вас, Ваше Величество Гласность, за возвращение национальных сокровищ!

Черночернов разъярился, что за шут?! Совершенно очевидно, что он намеренно показывает ноль уважения к леденящей комбинации букв.

— Сдается мне, что вы забыли, милостидарь, о вашей подписи под определенным документом, обязующим вас к сотрудничеству с нами при любых, избранных нами обстоятельствах? Вас не трогали двадцать лет, милостидарь, но сейчас пришла ваша очередь послужить Отчизне!

Сказав это, полковник извлек из портфеля множество вполне убедительных материалов — копии протоколов московской милиции, формы медицинских осмотров, фотографии дебошей, задержаний, допросов и, наконец, копию того заветного «документа» с личной, сродни абракадабре, подписью Филлариона.

Черночернов всегда верил в хорошо разработанную методику КГБ, но даже эта твердая вера не удержала его от изумления: документ и фото произвели на Фила совершенно сокрушительный эффект. Гигант дрожал, нагой и босой, будто под действием электротока. Дыхание его сбилось, он выделял огромные количества пота и слюны. Отвратительное зрелище, однако первейший долг чекиста, повторял про себя Черночернов, никогда не терять веры в человека!

— Когда это было сделано? — пробормотал Фофанофф еле слышно.

— 22 апреля 1968 года, в день рождения великого Ленина, за два года до славного столетия. Разрешите мне помочь вам в ваших воспоминаниях, дорогой профессор? — Полковник взял пачку фотографий и начал ее тасовать, выцелкивая то одну, то другую картинку по своему выбору.

— Вот здесь вы со своими, так сказать, соратниками... грязная пьянка во дворе государственного туберкулезного института... Это вы, целующий ноги бронзовой статуе...

— Целующий ноги бронзовой статуе... какой позор, — прошептал Фофанофф.

— Здесь вы яростно атакуете милицейский патруль. Нокаутировали трех сержантов, милостидарь! Нокаутировали людей, которые всеми силами старались вас спасти от комсомольцев-дружинников... Здесь вы в процессе кражи милицейского мотоцикла...

Фил положил руки на медузу своего лица, речь его превратилась в череду бессвязных пузырей.

...Федор, выше ноги... дерусь, как Меркуцио... не забывать... ночь перед Столетием... Столетие чего? Преступления и Наказания? Капитала?...

Черночернов не мог скрыть смеси триумфа и брезгливости. Эта всепокрушающая «любовная машина», почти стершая до основания некое невинное ухо, этот огромный

книгочей и великий источник знаний... как быстро он превратился в труса, в сущую дерьмовозку!

— Слушайте, Фофанофф, ну-ка, возьмите себя в руки! Вы не в застенках Инквизиции, мы современные люди, никто не посягает на вашу личность!

Полковник был ужасно доволен собой — все-таки долг чекиста пытаться обнаружить хоть какие-нибудь достоинства даже и в такого сорта человеческом материале.

— Итак, продолжим? Этот снимок показывает вас, милостидарь, в момент столкновения с фонарным столбом перед другой статуей, на этот раз гранитной. Вот здесь вы плюете на данную скульптуру и одновременно изрыгаете оскорбления в адрес персоны, запечатленной в граните.

Итак, чтобы покороче, пару часов спустя после вашего задержания и умиротворения средствами современной медицины, у вас состоялся исключительной важности разговор с особой исключительного значения, а именно с шефом вашего философского управления, генералом Якубовичем-Пушиным. А так как результаты этого разговора были признаны удовлетворительными, вы были вскоре отпущены из отделения милиции №50, скандально известного в ваших кругах интеллигенции под именем, да, вот именно, «полтинника». Вот здесь мы видим вашу подпись под соглашением о сотрудничестве, а это финальный снимок данной серии. Вы видите самого себя уходящим из «полтинника», с вашего зада свисает почти полностью оторванный карман «Леви Страуса»...

— Впечатляющий фон, ах, какой впечатляющий фон, — в шептал Фил сквозь слезы.

Черночернов тут вгляделся и не поверил своим глазам — это были слезы истинного счастья. Фил простер к нему свои жутковатые конечности.

— Я так вам благодарен, Федот Ксенофонович! Вы только что заполнили провал в моей памяти, который преследовал меня двадцать лет! О, эти мучительные угрызения совести! Иногда мне даже казалось, что я оскорбил кого-нибудь честного, обесславил кого-нибудь благородного, осквернил нечто превосходное...

— Вы осквернили всего лишь нашу философию, — сумрачно заметил Черночернов. — Гранитное воплощение всего дорогого.

Филларион отмахнулся:

— Да кому интересна ваша философия? Спасибо вам, дорогой мой великодушный соотечественник, за такое облегчение! Значит, ничего непоправимого не произошло, и я просто был всю ночь за решеткой, в нашем дорогом уютном, хоть и облеванном, «полтиннике»!

Хитрец, подумал Черночернов и сухо сказал:

— Ну, что ж, я рад, что вам стало легче. Так что вы, я вижу, не возражаете работать на нас, верно? Ну, ну, что это за неестественное изумление? Это вам не идет, такому... м... корпулентному мужчине это не к лицу... Я надеялся, что вы меня поняли, ну а если что-нибудь не дошло, еще раз могу объяснить попросту Вы, профессор Филларион Фофанофф, двадцать лет назад были завербованы КГБ и с тех пор всегда состояли в списках наших секретных сотрудников.

— Как интересно! — еле слышно прошептал Фил. — Я — сексот КГБ, каково?! Мне кажется, я теряю равновесие!

Теперь он распростер свои руки в стороны и, напомнив одновременно что-то непристойное из греческой мифологии, рекламу шин Мишelin и какое-то гиперболическое акушерство, изобразил потерю равновесия.

— Не можете ли вы меня избавить от удовольствия созерцать вашу наготу? Наденьте хоть халат, — предложил полковник.

— Иес, сэр, — отвечивал Фил. — Вы теперь можете не только предлагать, но и командовать, не так ли?

Сарказм или простодушие, плут или дурак, размышлял полковник.

— Удивительно, — пробормотал Фофанофф. — А я-то думал эти двадцать лет, что просто нахожусь под вашим наблюдением.

— И не ошиблись, — усмехнулся полковник.

Он объяснил слегка потрясенному ученому, что органы знали всю его подноготную, и выразил надежду, что такой интеллигентный человек не будет задавать наивных вопросов или вопросов с претензией на наивность о том, почему они ему ни разу за двадцать лет не напомнили о себе. Так надо было, милостидарь, вот и ответ. Между прочим, Фофанофф, ваша

семья случайно не связана каким-нибудь образом с теми Пархомович-Лиссабонскими, что были близки к кругам конного конвоя Его Императорского Величества? Ах, как я рад, что не ошибся! Как славно то, что вы теперь среди нас, дорогой Фил! В эти дни наши товарищи особенно ценят истинно русское историческое происхождение! Не преуменьшая нашу идеологию, мы теперь приподнимаем наше наследие!

— Ну, а теперь, дорогой коллега, позволь мне объяснить тебе суть твоего задания, которое необходимо выполнить за время вашингтонской командировки. Прежде всего скажу, что это дело высочайшего значения. На ставке вся судьба марксизма-ленинизма!

Скажу тебе напрямую, ты можешь любить эту философию или ненавидеть, но ты не можешь отрицать, что это цемент нашего государства и нашего общества и поэтому она находится под нашей постоянной защитой. Ирония в том, дорогой товарищ по оружию, что самый чувствительный документ, касающийся этой философии, оказался в Тройном Эл, этом проклятом американском Яйце, точнее, в желтке Яйца, еще точнее — в библиотеке...

Полковник сделал паузу и посмотрел на «товарища по оружию». Фофановф был на грани полной прострации. Он испускал какие-то кудахтающие вздохи, озирался с диким выражением. Тем временем его гигантские ладони порхали над его брюхом, будто крылышки херувима. Потом голова его упала, и он прошептал еле слышно:

— Неужели, Федот Ксенофонович, вы имеете в виду неоплаченные счета Ленина, его долги в цюрихской бакалее?

Черночернов хохотнул.

— Ну-ну, Фил! Мне нравится твое чувство юмора, но на этот раз это не Ленин. Я говорю о записной книжке Достоевского. Ты можешь меня спросить, что общего имеет Достоевский с нашей бл... бл... благородной философией? Видишь ли, до недавнего времени никто не знал, что наш национальный гений сделал некоторые комментарии, и даже продолжительные комментарии об их... хмм... простите... простите, я хотел сказать, о нашем международном гении Карле Марксе... И в этом вся суть проблемы. Достоевский и Маркс — два гиганта современного мира, и ни при каких обстоятельствах мы не можем им позволить столкнуться лбами!

Дикий вопль, сродни Архимедову банному оргазму, потряс стены студии на Дикэйтор-стрит:

— Понял! Понял!

Вслед за этим взрывом энергии последовало новое падение, возврат к прежнему состоянию медузы, выброшенной на берег. Едва различимый шепот:

— ...Федор и Карл... Наконец-то... все соединилось... та судьбоносная ночь двадцать лет назад, все теперь озарилось... вот то, чего я жаждал... оба имени произнесены... все эти порывы ветра, все угрызения совести, предчувствия кардинального виража жизни... сначала я увидел ту страждущую сутулую фигуру романиста... потом выплыла из мрака огромная гранитная глыба экономиста... вся эта говенная тусовка с мотоциклом в промежутке... О, дорогой мой Федот-да-не-тот, дот-дот-дот...

Полковник не мог не вздрогнуть, разумеется, услышав эти гулкие точки. Фофановф продолжал:

— И потом... эта неожиданная гармония, что пролилась благодаря вашему хамскому предложению, дорогой сукин сын из сучьего борделя... Теперь понятно, что мне предвещали те предчувствия... Каков парадокс: гармония, экстаз, отчаяние, весь спектр этих почти забытых эмоций был вызван наглым шантажом тайной службы! Как вам нравятся эти превратности судьбы, дорогой товарищ Шварценеггер?

Теперь пришел черед полковника потерять равновесие. Шварценеггер засвечен? Неужели этот жирный ублюдок уже перехвачен нашими коллегами из Вирджинии? Что же, он меня просто дурачит?

Ему очень не хотелось прибегать к инструкции №11 — пытки всегда противоречили его убеждениям просвещенного монархиста — и все-таки в инструкции №11 было непреложно написано: «Перед лицом окончательного раскрытия следует немедленно применить устройство номер 9, предназначенное для быстрого выявления источника опасной информации». Устройство номер 9 напоминало спичечный коробок из тех, что можно найти в каком-нибудь шикарном клубе. Направив эту внешне безвредную Штучку на носителя опасной информации — собеседника или секс-партнера, — вы нажимаете соответствующую почти невидимую кнопочку, и, в мгновение ока, носитель ОН оказывается связан по всему его (ее) телу тончайшими неразрывными нитями. Связав носителя ОН — не важно, взрослого или ребенка — и лишив его возможности двигаться, вы можете (и должны) извлечь из устройства

номер 9 экстрактор SQ=1,2, то есть прибор, используемый для экстракции желаемой информации из ее иммобилизованного носителя. Ничего, что экстрактор 80=1,2 выглядит как обычный штопор из страны Лилипутии, практика доказала его исключительную эффективность.

Черночернов, конечно, знал, что некоторые «чистильщики» старого сталинского стиля все еще привержены к своим добрым старым надежным зажимам... эти замшелые олухи используют любую возможность, чтобы дискредитировать устройство номер 9 и экстрактор SQ=1,2, разработанные специально для современных условий, чтобы не оставлять следов «активной беседы»... но он сам был не из этого числа отсталых элементов.

Быстрее, чем ожидалось, а именно через одиннадцать минут применения экстрактора профессор Фофанофф начал петь:

Не счесть кораллов в каменных пещерах,  
Не счесть жемчужин в море полуденном...

Песня Индийского гостя, Римский-Корсаков, оперный опус «Садко».

Затем он прервал взрыв своего бельканто, подмигнул мучителю и хрипло пробормотал:

— Прошу прощения, но в ваших приборах уже нет никакого толку. Я — за болевым порогом.

Черночернов, пораженный и потрясенный, нажал другую соответствующую кнопку и смотал неразрывные нити. Еще раз он отдал должное своему руководству за то, что вычислили такого исключительного агента, ускользающего даже от экстрактора SQ=1,2.

— Фил, дорогой, бесценное мое человеческое существо, я надеюсь, ты не будешь держать на меня зла. Я ведь просто слуга своего долга. Если бы ты только знал мои истинные убеждения, мою настоящую песню, чье горло я столько лет топчу своим собственным сапогом! Давай выпьем на брудершафт! Можно отмыть бутылку этой стопроцентно русской перцовки? Что, эта девка, твой зяблик, принесла ее сюда? Очень мило с ее стороны! Хотел бы я ближе узнать твою Жемчужную Лагуну, но на всякий случай будь с ней на стреме, птичка, может быть, из нехорошего гнездышка. Ну, ладно, так или иначе, можешь ты мне точно сказать, что Шварценеггер был просто игрой твоего воображения? Спасибо, друг! Давай поцелуемся! Ты меня хоть в малейшей степени уважаешь? Так же и я тебя, в малейшей. Когда ты хочешь начать наше... кх, кх... исследование по Достоевскому? Прямо сейчас? Не шути! Все-таки после таких сегодняшних экстраваганций... я, конечно, ценю твоё рвение, но спешка в столь деликатном деле не нужна. Не будем суетиться, дорогой ученый муж, и давай ручки-то, ручки-то наши перекрестим...

Выпивание водки с перекрещенными руками — старая русская традиция, дико называемая немецким словом «брудершафт». Трудно сказать, почему русские начали в этих случаях употреблять немецкое слово, как будто им самим никогда не приходило в голову целовать собутыльника, чавкать его губами и клясться никогда, никогда не плевать новому брудеру в ряшку.

Фил и Федот перекрестили свои руки со стаканами перцовки, опустошили эти стаканы залпом и потом громко и не без взаимного отвращения поцеловали друг друга во рты. Братья навсегда.

— Позаботься о своей антенне, Шварци, — прошептал Филларийон прямо в глубину мученика, то есть в полковничье ухо.

Хихикая и слегка морщась, как будто после исключительно похабного приключения, полковник сошел вниз. Там он бросил взгляд в гостиную господина посланника. Милейшие супруги оставались в прежних позициях, погруженные в уютные кресла. Две маленькие лужицы рвоты поблескивали перед ними. Телевизор в центре комнаты трещал, как индийский костер. Передавали сегодняшний пресс-брифинг на Южной лужайке Белого дома. На лицах журналистов, как обычно, было написано, что они знают гораздо больше, чем говорят. Тэд Коппол. «Ночная линия».

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### Похищение Европы

К Рождеству спецгент Джеймс Доллархайд достиг пика своей формы, если, конечно, не принимать во внимание плачевную разруху в его концепции Молодого мира. Совершая

пробежки вдоль каньона Рок-Крик, Джим размышлял о быстро нарастающей маскулинизации своих вкусов и рефлексов. Что происходит, черт возьми? Еще недавно он вряд ли остался бы равнодушен к стройному япончику, которого он только что заметил возле доски объявлений парка отдыха. У него больше не подкруживалась голова, когда его ноздри улавливали запах чудесного мужского феромона из подмышек пробегающего мимо атлета. Вместо этого простой вид двух незначительных выпуклостей на грудной части женского тренировочного костюма или даже еще менее значительный, но по каким-то непонятным причинам дивный, невыразимый изгиб бедра бегущей девушки заставлял его жадно хватать ртом хорошо прогазованный вашингтонский воздух.

Эта додекафония в его столь грациозно настроенном оркестре была вызвана — он не мог не признать этого — той лиловоглазой нимфой с ледяной окружностью возле Национального архива. От Алика Жукоборца, соседа Урси по клевому кооперативчику Кондо дель Мондо, он узнал, что она всеми признана как «бесовски одаренная сучка в области русистики», что она к тому же ненавидит русских и придерживается исключительно свободных взглядов по любому вопросу. Некоторое время он пестовал робкую надежду, что она также принадлежит к Молодому миру. Он даже нажал на Алика, чтобы выудить из него хотя бы намек на ее лесбийские склонности, однако Алик заверил его в противоположном. «Можешь мне поверить, старик, это хищная Мессалина вашего проклятого американского поколения йаппи...»

Что касается его клиента, то есть третьего члена их трио, Фила Фофаноффа, то, едва лишь Джим спросил его об Урси, тот немедленно начал петь «Песню индийского гостя». Странная цепь ассоциаций, ей-ей, странная цепь.

Чтобы оправдать свою неутолимую жажду видеть ее как можно чаще, то есть каждый день, Джим убедил сам себя, что ее следует внести в список сомнительных персонажей ТройногоЭл и поставить под мягкое, в высшей степени деликатное наблюдение. Через улицу от клевого Кондо дель Мондо он обнаружил сербский ресторан «Шибица» и сделался там, что называется, завсегдатаем. Сидя в оконном «фонаре» этого далеко не первоклассного балканского заведения, он размышлял о странностях судьбы: любой мессалинистый силуэт на мглистой улице оставлял его бездыханным.

Тем временем что-то решительно изменилось в подходе Пятого подотдела Третьего отделения ФБР к делу Филлариона фофаноффа. Как-то раз его непосредственный начальник, старший агент д'Аваланш, в самой что ни на есть дружеской манере, то есть на пределе своих возможностей, бросил ему как бы мимоходом: «А не завязать ли тебе, Джим, со всем этим шухером, с тем трехнутым русским индивидуумом, постольку поскольку наш недавний анализ показал полное отсутствие чего-либо интересного в этом дерьмовом Яйце, если не считать всяких вшивых и молюю съеденных писем от одного придурка XIX века к... ну, к другому индивидууму... Бросил бы к чертям, а?»

Задетый за живое, Джим возразил, что хотя все подозрения к Филу Фофаноффу развеялись — он не более шпион, чем вы, Брюс, розовый фламинго, — тем не менее он полагает, что утечка из Москвы пришла не даром, что нечто таинственное и даже жуткое заключено в этом Яйце.

«Моя интуиция, сэр...»

— Простите, Джим, но наш бюджет лишает нас удовольствия следовать за вашей интуицией. Я надеюсь, что ты меня не держишь за какого-нибудь заплесневелого лаптя с 9-й улицы... (если не лапоть, кто ж ты тогда, быстро подумал Джим), и все— таки я бы предложил тебе вернуться к твоим первоначальным разработкам...

Боже правый! Неужели они действительно хотят меня опять засадить за ловлю блох? Что за проклятье! Вместо того чтобы вести дивные разговоры с международными учеными о предметах романтизма, о Пушкине и Роберте Эммете, вместо преследования лиловой нимфы из классических дубрав, ему придется опять углубиться в скучнейшие перипетии запутанного жульничества, опять вернуться к этим снотворным и тошнотворным дискеткам и папкам?! Боже упаси!

Он отправился к шефу. Конечности Доктора Хоб-Готлиба были, как обычно, небрежно раскинуты по предметам кабинетной мебелировки, за исключением одной, а именно правой руки, в которой он держал книгу. Джим заметил титул. Это были «Федон» и «Критий» Платона, карманное издание из тех, что сейчас найдешь в любой забегаловке. Три младших сотрудника, Эплу-айт, Эппс и Макфин, «молодая гвардия» Пятого подотдела, сидели за столом совещаний, держа карандаши наготове.

— Простите, братцы, за вторжение в ваш СПКУ (семинар по повышению культурного уровня), — сказал Джим.

— Всегда вам рад, Джим, — Доктор Хоб, казалось, чувствовал себя не вполне в своей тарелке.

«Молодая гвардия» тактично покинула помещение. Джим понял, что увертюра д'Аваланша была полностью оркестрована всем подотделом. Тогда он решил сразу взять быка за рога.

— Простите, Доктор Хоб, вам никогда не приходило в голову, что таинственное нападение на вашего покорного слугу в студии на Дикэйтор-стрит может иметь некоторое отношение к Зеро-Зет и его трем помощникам, которых вы упомянули в инструктаже пару месяцев назад? Не видится ли вам в этом некий заговор против перестройки?

— Конечно, приходило, конечно, видится, — ответил Хоб-Готлиб серьезно, хотя и с еле заметной усмешечкой в уголке рта. — Поверьте, Джим, меньше всего я хочу смешивать вашу самоотверженную работу с приключениями вашей молодой личной жизни, но, увы, есть некоторые люди у нас в Бюро... ну... хм... наши собственные антиперестроечные силы, так сказать... которые считают, что вы слишком лично воспринимаете всю ситуацию в Тройном Эл. Наберитесь терпения и посидите немного тихо... в стороне от Яйца... Не обижайтесь, Джим, и позвольте мне напомнить вам строку из Платона: «Слабое рождается из сильного, а быстрое из медленного»...

Два дня спустя спецагент Доллархайд сидел на вершине вирджинского холма в окрестностях города Фэрфакса. Он размышлял о своей карьере контрразведчика. Несмотря на неопытность, Джим уже понял, что в пандемониуме ФБР судьба любого человека зависит от его собственной воли и от удачи. Рисковые и удачливые могут превратить свою жизнь в захватывающее странствие. Другие, невзирая на их титулы и награды, на всю жизнь останутся жалкими правительственными чиновниками. Каков же я сам: рискованный, но неудачливый или удачливый, но не рискованный? Платон, ответь!

Это был один из тех серых теплых дней, что не так уж редки во второй половине декабря в среднеатлантических штатах. С вершины холма мягкие склоны окрестностей выглядели как огромное поле для гольфа, пересеченное там и сям белыми вирджинскими заборами. Время от времени в скучных равнодушных небесах появлялись планеры, поднимавшиеся из близлежащего авиаклуба. Бесшумные, они парили над холмами, словно призраки самолетов. Повсюду были раскиданы маленькие яркие пятнышки всадников. Вдалеке различался флаг клуба верховой езды.

По некоторым причинам именно этот клуб привлекал в настоящий момент внимание спецагента. В последние три дня разработок название клуба несколько раз выпрыгивало из компьютерных лабиринтов. Не важно, что многие сомнительные личности из его списка потенциальных мошенников и потенциальных немощников оказались членами этого клуба. Камнем преткновения был вопрос о том, кому принадлежит заведение. Джиму удалось выудить несколько имен, которые, похоже, были подставными лицами, но настоящий владелец был неуловим.

— Как я догадываюсь, вы, Джим, сведущи в лошадях, — сказал д'Аваланш. Он сиял, как бы говоря: наконец-то ты взялся за стоящее дело, сынок. — Почему бы вам не отправиться в Фэрфакс и не записаться в члены этих гребаных конюшен?

Ну и тоскливое дело, думал Джим, пока сидел на холме неподалеку от клуба. Лошади, мошенники, подсадные утки, пасущиеся на этих слишком уж умиротворенных холмах, какая лажа! Внезапно он услышал то, что меньше всего ожидал здесь услышать — романтический галоп. Три всадника галопировали мимо холма, и этот галоп напоминал вальс Его Величества Императорских голубых гусар или даже — почему бы и нет? — похищение Европы. О, да, он видел бешеный факел выцветшей крашеной гривы, хохочущий чувственный рот, собравшиеся в вожжи морщинки у глаз, еще один тип неотразимой женщины — если не похищенная Европа, то кто же она? Если не мистера Зевса, то кого же еще представляют двое мужчин, скачущих рядом? О, нет... Он не мог поверить своим глазам, представителями Мистера Зевса были не кто иные, как почтенный Генри Трастайм и начальник службы охраны Тройного Эл Каспар Свин-гчээр. Пощелкивание груженных судьбой секунд, мгновенное восстановление лишней всякой судьбы реальности...

Этот промельк оказался поворотным пунктом в жизни и карьере спецагента Джеймса Доллархайда: он решил отбросить все предосторожности, а также инструкции начальства и устремиться к своему предназначению.

Почти немедленно он был вознагражден за свое решение. Однажды в «Шибице», в один из очаровательных вечеров, его пронзил насмешливый взгляд. Он содрогнулся над блюдом балканского салата — «ле мини принтан», вуаля, обволакивающие испарения кустов сирени. Доктор наук Урсула Усрис потягивала свой эспрессо в двух столах от него.

Что сказал Пушкин Баратынскому, когда они столкнулись на ежегодном осеннем балу барона Геккерена?

Что за мистификация? Он слышал скрипки того бала, видел похотливых львиц в великосветской толпе... новый развратный танец... триумфальная контрреволюция, то есть обратное вращение...

— Только мы остались невознагражденными в нашем отечестве, — вот что сказал Алекс Юджину в ту ночь.

— Верно! — воскликнула Урсула. — Хочешь честно, Дик? Ты поколебал мою уверенность в том, что передо мной всего лишь мелкий стукач. Не будь дубарем, петушок-гребешок, и перестань сидеть день за днем в этой чертовой «Шибице». Если ты просто хочешь в темпе повальсировать, сделай соответствующее па-де-де. Для начала заплати за мой эспрессо!

Она расхохоталась, а он заморгал. Когда он кончил моргать, ее стул был пуст. Испарилась. Джим уныло собирал себя по кускам. Прощай, моя профессиональная интуиция!

## Матушка Обескураж Из Дистрикта Колумбия

Перед тем как перейти от сравнительного спокойствия предшествующих глав к взрыву диких событий, повествование наше, безусловно, потребует, чтобы читатели насладились видом Филлариона, стоящего на углу улиц Икс и 14-й. В задумчивости он взирал на названия улиц.

Ради небес, думал Фил, почему это живописное место было названо столь безлично, столь обескураживающе? Инкогнито, Икс, лежащее меж двух тоскливых цифр, 13 и 14! Господин мэр, почему бы нам не спустить с цепи гончую свору ассоциаций и не переименовать 13-ю в улицу Чертовой дюжины, то есть, по-английски, Дюжины пекаря. Заполучив пекаря, нам будет ничего не стоить переименовать 14-ю в улицу Круасана, поскольку число 14 столь живо напоминает нам о Дне Бастилии, 14 июля, то есть о национальном празднике той страны, где выпекают круасаны, эти дивные булочки-полумесяцы. Теперь, господин мэр, дело лишь за простой логикой, и она не позволит нам задержаться ни на минуту в переименовании улицы Икс в улицу Наполеона!

Итак, насладившись видом нашего 160-килограммового иноземца на углу Круасана и Наполеона, проследим его беспечную прогулку вдоль Чертовой дюжины, подмечая все его дружелюбные кивочки и экивочки по адресу элегантных жильцов и завсегдадаев этого места, подмечая также вспышки его фотоаппарата, с помощью которого он тщательно фиксировал крылечки домов и множество бумажных объявлений, трепещущих на фонарных столбах в порывах атлантического ветра. Засим он погрузился в свой громоздкий «Чеккер» и направился в Горсовет на аудиенцию к мэру Берри.

Тем временем место, которое он только что оставил, — на самом деле средоточие городских чокнутых, торчковых и кирных в сочетании с дивным букетом ночных маргариток — нежится в лучах своего недавнего переименования. Как раз на углу Наполеона и Круасана располагается крыльцо, где матушка Обескураж дистрикта Колумбия постоянно расчесывает свои кудри. Нынче трудно себе представить, что эта тяжелая фемина когда-то осчастливила несколько поколений вашингтонцев, включая немало известных журналистов и лоббистов. Мы бы осмелились сказать, что многие красотки лучезарной современности позеленели бы от зависти, имей они хоть малый шанс увидеть неотразимую Полли Обескураж в тот момент, когда она шествовала по 14-й, то есть по улице Круасана, в 195... хм, хм... году. Сейчас она жужжит, жужжит себе песенку своих лучших дней: «Дик на лодочке, на лодочке, на лодочке плывет, Пусси в платице фартовеньком по бережку идет», — и ее смутная улыбка, постоянно бродящая по пересеченной местности ее лица, считается своего рода фокусом этой округи, а громкое биение ее пульса действует как метроном для нашего дальнейшего повествования.

Ступенькой ниже на крыльце всегда можно видеть двух нынешних матушки Обескураж ухажеров, неразлучную пару стареющих бродяг, Теда и Чарльза. Как обычно, они заняты вечными поисками чего-то в бесчисленных и бездонных карманах друг у друга. Три сестренки также являются завсегдадаями этого сектора, три представительницы трех основных человеческих рас: Милиция Онто-Потоцка (кавказская, то есть белая раса), Глория Чемберлин (черная раса) и Иэн Уоу (азиатка).

Иногда даже владелец местной бакалеи, господин Пу Соннн, присоединяется к компании, чтобы поделиться своими глубокими огорчениями.

Являясь странным источником гармонии, матушка Обескураж проявляет заботу о каждом и о чем угодно в своем слуховом и визуальном пространстве, но, увы, не слишком далеко: она наполовину слепа и на одну треть глуха. Впрочем, что касается самых близких к ней лиц с их делами — ну, например, если Тед и Чарльз вдруг начинают громко собачиться или господин

Пу Соннн жалобно рассказывает о последнем налете на его лавку, не говоря уж о сестричках с их обычными жалобами, — матушка Обескураж немедленно смягчает общую атмосферу на углу Наполеона и Круасана, просто брэнча на своем банджо и жужжа всеми любимую «Дик на лодочке плывет, Пусси бережком идет».

В тот вечер новая личность появилась на углу, подобно буревестнику Нового Мышления. Это была высокая и стройная фемина, затянутая до пределов воображения в красный кожаный брючный костюм. Хоть и трудно было определить ее возраст, все-таки многие клиенты нашли ее безу-у-мно привлекательной. Расовая принадлежность тоже была под вопросом. Вместе с громким ее «Всем привет!» прилетело дуновение магического карибского языка «пепельяменто», хотя рыжие ее кудри выдавали ирландские корешки. Похоже было на то, что она предлагает свои услуги, и в то же время она явно не спешила ухватиться за любое приглашение. Величавой походкой, о, да, прямо сводящей с ума поступью, она прошлась по улице Наполеона, как бы мимолетом делая снимки крылечка матушки Обескураж и трепещущих на фонарных столбах объявлений своей изящнейшей мини-камерой.

— Гляньте на нее! — презрительно усмехнулся Уокер Пи Уокер, бывший игрок баскетбольного клуба «Ястребы Атланты», 43 года, 2 и 03 м, 110 кг, идол всего околотка, сильный мужик и женоненавистник. — Воображает себя принцессой со сверхзвукового «Конкорда», но вы, народы, сейчас увидите, как я в темпе вставлю ей в кормовой отсек!

Тут все завсегдатаи Наполеон-Круасана прямо вылупились, чтобы увидеть, как Уокер Пи Уокер заходит на аристократическую телку. Сказать по правде, ничего плодотворного из этого не вышло. Аристократка крутанулась вокруг оси с ошеломляющей готовностью. Позднее некоторые свидетели этой сцены уверяли, что они увидели два коротких, но ослепительных разряда молнии, сверкнувших в ее очках, что были больше нормальных очков и темны, как карибская ночь. Мгновенно она стряхнула парижские сапожки, в следующее мгновение ее голая пятка, сверкнув, как еще один разряд молнии, сокрушила легендарную челюсть Уокера Пи Уокера.

Гигант рухнул. Аристократка закурила. «Братцы! — вскричал женоненавистник в ярости и тоске. — Это она, эта гребабенная Леди Стальная Пятка!»

«Стальная пятка!», «Стальная пятка!», разнеслось вокруг. Многие ребята с Наполеон-Круасана и даже из-за угла слышали и распространяли леденящие душу истории о таинственной девке, что появляется то там, то сям, в модных местечках к востоку от Коннектикут-авеню, всякий раз под различной маскировкой, и преподает местным кумирам безжалостный урок своей всесокрушающей пяткой.

Последний раз, как говорят, ее видели возле автобусной станции «Серая гончая», в закусочном павильоне Роя Роджерса. Облаченная в вечернее платье кастильского стиля, непостижимая дама сокрушила пару подбородков и полдюжины ребер своими безоружными пятками. Кроме того, она проколола брюшную полость джентльмена из Спрингфилда, штат Массачусетс, кончиком своего сомнительного зонтика. Согласно слухам, этот португальский денди, слишком бухой, чтобы признать поражение, продолжал ухаживать за Стальной Пяткой, в том стиле, к которому он привык, пока полностью не отключился от реальности на задах Роя Роджерса, в дюнах недоеденных бургеров.

Теперь кодла быстро пришла к решению посчитаться с Леди Стальной Пяткой. Наконец-то справедливость восторжествует! Ее следует опустить в деготь и вывалить в перьях, вычистить напрочь из приличного околотка! Остановим воинствующий феминизм! Но пасаран! Не менее двух дюжин завсегдатаев Наполеон-Круасана окружили Стальную Пятку. Слегка очухавшийся, хотя еще вполне смурной Уокер Пи Уокер мудро держался во втором эшелоне. Впрочем, его стенания подстрекали других отомстить за свергнутого идола улиц. Тем временем матушка Обескураж, Милиция Онто-Потоцка, Глория Чемберлен, Иан Уоу, господин Пу Соннн, а также Тед и Чарльз быстро вскарабкались на самый верх крыльца, чтобы не пропустить ни клочка из разворачивающейся драмы.

«Бедная девчонка! — вздыхала Глория. — Парни вне себя от ярости, ей-ей, вне себя!» Милиция дрожала от экстремального возбуждения. «С ней покончено, холера ясна!» Матушка Обескураж прекратила расчесывать свои волосы и отложила банджо. «Все будет в порядке, девчата», — бормотала она, хотя и не была убеждена, что все будет в порядке. Ей овладели два противоречивых чувства: жажда вечной гармонии и неистребимая склонность к сексуальному хулиганству. Она уже как бы воочию видела поверженную на колени Стальную Пятку и парней, расстегивающих свои ширинки.

Чарльз и Тед, следует признать, не сказали ничего, поскольку были весьма заняты, грызя через целлофан внушительный круг польской колбасы, которую им только что принес

господин Пу Соннн в рамках своей предрождественской благотворительной кампании. Их благодетель между тем просто качал головой, бормоча: «Ну что за мир!» Ему не нравились акты насилия, хотя он не видел никаких причин, чтобы не созерцать их, если показывают.

Леди Стальная Пятка в центре медленно сужающегося круга была неподвижна, стоя в превосходной позиции. Шедевр боевого феминизма, скульптура! Подонки ядовито ухмылялись. Один из них готовился бросить лассо.

Бант! Свиш-ш-ш! Рассыпался ворох искр! С ржавых небес столицы опускался некий полужмей, полудрозд. Он остановился в воздухе над полем битвы, пульсируя зловещим сиянием, выбрасывая пронизывающие лучи света, испуская адское шипенье.

Банда женоненавистников замерла на месте. Какого фулуфуя? Пришельцы прибыли, что ли? Эй, мужик, ты что, не видишь, это же нюхающая электроника! Клянусь, натренировали гаду на анашу, натаскали на «сахарок»! Давай, делай ноги, ребята! Откуда ты взял, что оно нюхает? Оно просто в воздухе висит, трещит, дешкает, выпускает свет, жужжит пчелой, вот и все... Эй, мужик, ты что, не видишь эти щупальца? Ты думаешь, это просто шикарные усики, да? Нюхающие щупальца, все кишки у нас пронюхает, гада! Бона уже топорчатся, братцы! Вы что, мазерфакерс, не видите, что это еврейская штука? Вашингтон нафарширован дикими еврейскими штучками, как та рыба, что они шамают...

В этот момент таинственный «змей-дрозд» начал шипеть громче, уподобляясь чему-то среднему между котом и огнетушителем.

Чего бы это ни было, но я от страха фсусь, мужики! Давай линияем, мальчики! Хватай девку и рвем когти в темпе!

Внезапно стремительная персона во фраке с хвостом, в цилиндре поверх летящей паганиниевской гривы двумя мощными прыжками преодолела круг бандюганов и выросла перед Леди

Стальной Пяткой подобно дирижеру в конце бетховенской «Героической».

— Следуйте за мной, мисс! Я ваш друг! Она расхохоталась:

— А ну, назад, дерьмовозы!

Она начала свой грозный пируэт, который, как правило, завершался сокрушительным ударом в наглую мужскую челюсть. На этот раз, однако, она не завершила ужасного приема. Летящий объект вдруг выпустил поток убийственно вонючих капель, каждая размером со спелую сливу, и все присутствующие потеряли сознание просто от брезгливости. Все, кроме мистера Паганини. Последний поступил так, как будто он принадлежал к избранному числу итальянских музыкантов, которые во время Второй мировой войны посещали курсы борьбы с химическим оружием при Миланском горкоме фашистской партии. Закрыв свои ноздри и нос маленькой маской, сродни коробке из-под сардин, он искусно поволок онемевшее, хотя все еще неотразимое тело Стальной Пятки прочь от этой омерзительной сцены, и вскоре они оба растворились в ночи.

Несмотря на то, что описание омерзительной сцены заняло не менее семи страниц, продолжалась она не более пяти минут. Даже команда Четвертого канала ТВ не успела прибыть вовремя, не говоря уже о полиции и «скорой помощи». Оппозиционные группы в нашем городе потребовали от мэра Берри чистосердечного, «бона фиде», отчета о событии, если он хочет избежать обвинений в действиях, похожих на акцию его коллеги из Филадельфии, то есть в воздушной атаке на кварталы бедноты. Круги, близкие к администрации, наотрез отвергли все околичности и призвали к регистрации всех опасных летающих, шипящих, светящихся и воняющих объектов, имеющихся в распоряжении населения. Дело было закрыто.

## Туннель В Рай

Леди Стальная Пятка пришла в себя на верхней палубе двухэтажного вашингтонского мемориального автобуса. Она лежала вверх лицом, ртом ко рту со своим спасителем, дьявольского вида паганинистым монстром.

— Как мило, — прошептала она. — От вас совсем не несет чесноком.

Секунду спустя он испустил вопль первобытного восторга.

О, эти древние ночи, думал монстр, трепеща и ввинчиваясь, пока он все трепетал и ввинчивался. Разве я не фавн в аттической дубраве? Не Эллада ли это, колыбель поэзии? О, музы!

Автобус, свежепокрашенный ядовито-зеленой краской и декорированный лентой из букв, что читались как «Дух двух столетий», был оставлен без присмотра возле городской бухты Тайдал

Бэйсин. Стояла зрелая луна, и отражение колоннады памятника Джефферсону в зыбких водах старалось изо всех сил опровергнуть научный вздор о параллельных линиях.

— Вы открыли мне другую вселенную, моя любовь, — задохнулся монстр в экстазе.

Леди Стальная Пятка исторгла хриплый хохоток.

— Такой сосунок, как вы, Ваше Сиятельство, в любом влагалище готов увидеть туннель в райские пущи!

Ночь полнолуния. Табунок панков тащился мимо. Услышав звуки классического пиршества чувств, исходящие с верхней палубы «Духа двух столетий», они заглянули в окно на нижнюю палубу и узрели там цилиндр, фрак и пару кожаных штанцов, еще сохранявших формы их обладателей, то есть стройных конечностей Леди Стальной Пятки.

— Истеблишмент колдапсирует, — сказали панки друг другу с понимающими кивками. Засим затрусили, будто табунок цирковых пони, к своим родным местам, в Джорджтаун.

— Перестаньте выдрючиваться, моя любовь. Бросьте этот ваш пепельяментский акцент, — нежно, рот в рот, прошептал он. Схватив ее за нос, он начал медленно стягивать тонкую пластиковую маску карибской «фам-фагаль» со славной мордахи доктора наук Урсулы Урсис.

Нечего говорить, она последовала его примеру, и из-под демонической поверхности появились приятственные черты Джимми Доллархайда, этого нового адепта гетеросексуальности.

— Хей, это ты, стукачишко? Рада наконец-то познакомиться! Знаешь что? Я не так уж дико удивлена.

Осторожно, хотя и не без легкого отвращения, Джим стянул с нее пышный парик.

— Вы твердо стоите на том, что я шпик, моя любовь. Ну, что ж, если я в шутку приму это утверждение, могу ли я — разумеется, тоже шутки ради — предположить, что и вы тоже принадлежите к этой древней профессии?

— Конечно, можешь, — усмехнулась Урсула. — Я секретно работаю на правительство Индонезии.

— Как мило! — воскликнул он. — Довольно необычный выбор — Индонезия!

— Почему нет? Я австралийка, а у нашего соседа Индонезии очень далеко идущие планы в современном мире. А как насчет тебя, золотой петушок? Кто твой патрон?

Джим пожал плечами и пробормотал самоуничижительным тоном:

— Пока это столь незначительно, что не стоит даже и говорить...

К его удивлению, она не настаивала и не уточняла.

— Я вижу, ты еще внештатник. Я с самого начала так о тебе подумала — новичок... хотя, — она все же улыбнулась одобряюще, — пожалуй, многообещающий новичок. Знаешь что, твоя летающая вонючка... довольно впечатляющая бестия.

— Это не моя была штучка, — еле слышно прошептал он, стараясь заглянуть поглубже в сиреневые озера. — Если это не ваша была фиговина, моя любимая, значит, принадлежала она третьему лицу... а может быть, и самой себе, если можно так выразиться...

Она засмеялась:

— Посмотрите на этого карапуза! Я уже его любимая. Вы слишком слащавы даже для начинающего, сэр!

Он улыбнулся, счастливый:

— О нет, нет, мадам! После нашего волшебного бегства в древние рощи... йес, мадам, в древние рощи... нельзя ли быть не столь уж жестокой со мной? О, нет, нет, нет... Конечно, больше никаких телячьих нежностей. Я знаю, что вы серьезный ученый и эмансипированная персона. Скажите, чем вы сейчас в первую голову заняты в Тройном Эл?

Она шлепнула его по руке, будто вдруг обернулась провинциальной кокеткой.

— Ты слишком все-таки любопытен для внештатника, Дик! Что бы ты сказал, если бы я тебе поведала, что интересуюсь в первую голову тремя допотопными частицами речи, суффиксом, префиксом и инфиксом, а именно частицами «кртчк, мрдк и чвск»? Долго не думай! Отвечай!

Бывший Паганини торжественно ответил:

— Отныне и навсегда становлюсь твоим четвертым суффиксом, моя любовь!

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

## Желток

В том случае, если наш читатель все еще склонен называть вещи своими именами, то есть яйцо Яйцом, в этом случае библиотеку Либеральной лиги Линкольна, это средоточие вселенской мудрости, следует полагать Желтком Яйца.

Впрочем, и задумана-то она была как ядро, расположенное в самой сердцевине, спроектирована в виде овала, хотя некоторые помещения выглядели ни дать ни взять как обычная библиотека. По крайней мере, на первый взгляд. Второй взгляд улавливал различные, там и сям разбросанные странности — неожиданный косою луч света или головокружительно раскачивающийся кусок потолка, или полностью непредвиденная и в той же мере бессмысленная апертура, проходящая через несколько слоев Яйца, скорлупу, радужную оболочку, роговину и ретину, для того лишь, чтобы предложить вид на тележку торговца «хот доге», «горячими собаками», что стоит напротив, через Ваш-мол.

В библиотеке Филларион почувствовал себя счастливым. Разумеется, еще бы, что же иное, если не библиотеки были его привычной средой обитания! Сказать по правде, наш герой всю жизнь был не кем иным, как библиотечной крысой, и только меж библиотечных полок с их успокаивающим душком плесени он чувствовал близость к своей сути. Даже и в разгаре дичайших эскапад его никогда не покидало виденье последнего прибежища — библиотеки! Ленинка в Москве, Публичка в Ленинграде или те, немыслимо далекие, из мира грез западные храмы словесности — библиотека Сорбонны, библиотека Конгресса, библиотека Британского музея; непостижимый Ватикан... о, библиотеки! Всякий раз, как он тащил свои гигантские ягодицы вдоль рядов книг навстречу волнующей встрече с очередным источником мудрости или вздора, он испытывал едва ли не священное блаженство. Служащие библиотеки всегда допускали его прямо к полкам. Осенние бабочки, одинокие девы библиотек не могли супротивиться его, как они выражались, «пьер-безуховскому» шарму. Выбрав книгу, он мог погрузиться в нее немедленно и оставаться часами без движения прямо в проходе; фигура истинного читателя, монумент мировой библиотеке!

О, люди библиотек, эти утонченные и бледные лица с потупленными взорами, как будто вымаливающие прощения за царящую вне стен библиотек похабщину! О, эти читальные залы, какой обманчиво мирный вид представляют там человеческие окружности, венчающие стулья и табуретки, как будто за ними не скрывается грозное поле доблестного фехтования, где тысячи мыслей сталкиваются и высекают искры, будто сабли, кинжалы и рапиры! О, эти библиотечные туалеты с примыкающими к ним курительными комнатами... есть ли более крамольные места на Земле? Никакие побочные эффекты переваривания пищи и метаболизма, равно как и беспрерывные водопады в многочисленных кабинках, никогда не могли заглушить великих ораторов туалетных, этих гранильщиков чистого разума, секущих своих оппонентов с яростью Неистового Виссарииона! О, можем мы вздохнуть в конце этого библиотечного лирического отступления, о, Николай Гоголь!

Словом, едва лишь улеглось наконец огромное возбуждение, связанное с его первым путешествием в Западное полушарие, Филларион вдруг, благодаря спецслужбе, благополучно приземлился в библиотеке. Он был даже благодарен полковнику Черночернову: сравнительно умеренные пытки добавили весьма впечатляющую страницу в его бурную биографию. Не каждому все же пришлось подвергнуться допросу с помощью изощренного экстрактора SQ = 1,2! Шрамы и порезы затянулись быстрее, чем можно было ожидать, и в результате той незабываемой ночи он оказался в библиотеке! Тем, кто еще не ухватил суть нашего персонажа, это может показаться странным, однако удручающие мысли о вербовке КГБ очень скоро были вытеснены из сознания Филлариона вдохновением научных поисков.

Жрица храма, Филиситата Хиерарчикос, величественно холодная и сдержанная, какой она теперь всегда была с ним после его бегства из «Седьмого Неба», все-таки снизошла и дала ему некоторые инструкции по пользованию библиотечным компьютером.

И вот, извольте, желанный предмет появляется на экране: записки Федора Михайловича Dostoevsky, сделанные во время его первого путешествия в Рулетенбург, то бишь Висбаден, Германия, 1864.

Сногшибательно — попутно с расшифрованным текстом па экране можно видеть собственный почерк нашего Дости!

Раньше он был уверен, что все до последнего клочка бумаги, помеченного пером русского национального сокровища, находится в неоспоримом владении Академии наук СССР; он был готов увидеть подделку, апокриф, однако самые первые же промельки на экране убедили его в полной аутентичности записок. Гляньте-ка только на это Ща, гордость и честь всей кириллицы,

этот умопомрачительный боевой трезубец, яростно нацеленный на грешников мира, кто, кроме Дости, мог выпятить его из полосы букв с такой непреклонностью?!

Однако что за течения вынесли этот бесценный дневник на здешние берега? Как случилось, что он нашел прибежище в «Желтке Яйца», расположенного между невинными штатами Вирджиния и Мэриленд? Шерше ля фам, и если будешь старательно шерше ее во дворцах и хижинах Русской Литературы, неизбежно натолкнешься на мисс Аполлинарию Суслову, очаровательную нигилистку урожая 1860-х, носящую короткую стрижку, голубые очки и неизбежную папиросу в углу темно-вишневого рта.

Тщеславная жалкая Европа, ты низвела нашу славу всероссийского «властителя дум» до завсегдатая казино! Всего лишь год назад одна из ярчайших барышень Санкт-Петербурга принесла ему в дар свои бесценные сокровища. Она трепетала, обожая его письмо и весь его образ сибирского узника, мученика, ставшего в ту пору героем Молодой России. И кто тогда, всего лишь год назад, мог вообразить столь безжалостную перемену в их отношениях?

Здесь, в Европе, а точнее в Париже, а еще точнее, *dans la montagne de Monmartre*, Аполлинария встретила молодого стремительного испанца, и все было кончено. Когда, сжигаемый страстью, Ф.М. прибыл в Париж, она оказалась холодна, как Семеновский плац в день фиктивной экзекуции. Она с отвращением отталкивала потные руки великого романиста, отворачивалась от его умоляющих глаз. Лучшее, что она могла ему предложить, это братские отношения (*sic!*)! Что за женщина, думал Фофа-нофф, что за метания между всепожирающей чувственностью и ледяной фригидностью!

Аполлинария — это враг человечества, обычно говорил ее отец, богатый негодяй. Что ж, так или иначе, этот «враг человечества» был предметом страстной любви, по крайней мере, двух славнейших мужей столетия. Именно она вдохновила Дости на создание трех его ключевых женских образов, и «шелест ее платья», за которым следовали другие головокружительные агонизирующие слова, продолжает холодком проходить по позвоночникам «русских мальчиков»...

Итак, в августе 1864-го странная пара, 45-летний романист и его 20-летняя мучительница, находилась в Висбадене. Ежедневно испытывая свою удачу в казино, а ночью сражаясь с неутоленной страстью, Федор Михайлович вел раздраженный дневник. Страницы этого дневника, приплывшего, по непонятным причинам, из Аргентины, теперь светились перед Филовским картофелеобразным носом, и эта заметная часть его тела сама светилась изнутри в состоянии высшего возбуждения.

### Висбаденский Дневник. Август 1864-Го

...Прошлым вечером все тот же назойливый еврейчик с претенциозной бородой подошел ко мне в буфете и сказал, что питает большую надежду на Россию.

«Собираетесь там чем-нибудь торговать, сударь?» — спросил я вежливо, только для того, чтобы как-то от него отделаться. Тут же я подумал, не обидится ли — европейские евреи не чета нашим. Пришлось расширить вопрос: «Или учить там будете, сударь?»

Он усмехнулся: «В некотором смысле, образно говоря, я хотел бы там учить, однако боюсь, ваша арена еще не подготовлена к моему учению, и я сомневаюсь, что она когда-нибудь будет готова...»

Станный малый. Его зовут Карл Маркс. Живет он в Лондоне, в ссылке. Немецкий еврей в Лондоне? Странно. Он говорит, что в Германии он персона нон-грата, поэтому ему приходится ежемесячно пробираться в Рулетенбург без законно выправленных документов. Я не очень-то все это понял, да, честно говоря, и не было никакого желания.

Оказалось, что этим утром ему повезло, и он выиграл двенадцать фридрихсдорфов, играя по своей системе. Ну, знаете ли, если уж у такого жалкого субъекта система срабатывает, должен ли я отказываться от моей, великолепной? Он заказал бутылку «Вдовы Клико» и после бокала этого искристого чуда признался, что только рулетка еще как-то примиряет его с современной жизнью, то есть с капитализмом. «А как вы, Достоевский?» Я пожал плечами. Он настаивал: «Как вы относитесь к капитализму?»

Я сказал, что капитализм совсем неплох, когда ты выигрываешь несколько лишних фридрихсдорфов на рулетке. Похоже, что он немного обиделся на меня из-за моей несерьезности... Но в этот момент в буфетную вошла Аполлинария, и герр Маркс поперхнулся. Ошеломленное выражение лица различалось даже через его экстенсивную растительность.

«Кто она?»

...О, шорох ее юбок!...

Ну, кто сомневался? Карлушка попался на крючок, как глупый карп. Вуаля, они гуляют вдвоем по Английскому саду, величественная принцесса и чудаковатый господинчик с огромной волосатой головой. В своем шикарненьком хвостатом фраке он выглядит как приплясывающий, хорошо причесанный пудель. Время от времени она бросает на него взгляды поверх своих голубых очков, и от каждого такого взгляда он спотыкается. Интересно, на какую тему Аполлинария может говорить с таким человеком?

Третьего дня, после неудачной попытки заложить портсигар, я заметил эту парочку возле фонтана. Мне удалось незаметно приблизиться к ним, впрочем, они были так увлечены — они беседовали! — что, вероятно, не заметили бы меня, если даже бы я подходил, играя на трубе!

Боже, они говорили об экономике! Я слышал какие-то уродливые слова вроде «товарный фетишизм» и «прибавочная стоимость»... Аполлинария... посмотрите на нее, она, оказывается, внедряется в концепции этой новой чуши, именуемой «марксизмом», которой эти подонки с Монмартра развлекаются от нечего делать, спустя рукава.

Марксизм?! Ну и ну! Имя нашего нового компаньона Маркс! Внезапно до меня дошло, что он не кто иной, как основатель новой школы, властитель дум всей мыслящей Европы. Каково? Русская барышня из Санкт-Петербурга встречает в немецком капище идола своего парижского любовника с пружинистыми ляжками, и этот идол, к тому же, ссыльный из Лондона и скрывающийся от полиции политик! Нет, все что угодно может произойти в наш век железных дорог!

Когда я подошел, Аполлинария что-то записывала в свою книжечку под Карлушкину диктовку. Тем временем его рука с трепещущими пальцами парила над ее спиной, словно эротическая стрекоза. Когда она наконец опустила на талию Полли, я кашлянул и сказал: «Слушайте, Маркс, могу я у вас одолжить пару талеров?»

Он определенно был в восторге от этой просьбы и от возможности тут же отделаться от меня в такой решающий момент их отношений. Что касается моей любви, она даже не снизошла обжечь меня своим великолепным ядовитым презрением.

...Ей-ей, я готов стать самым верным учеником этого сомнительного мудреца! С его двумя золотыми я играю всю ночь напролет, и не без... не без... тс-с-с... осторожно, только не сглазить...

На следующее утро Карл Маркс прибыл в Английский сад в чертовски возбужденном настроении, неся в протянутой руке газету, одну из этих их проклятых цайтунгов. На первой странице были статьи о стачке лионских ткачей.

«Послушай, Полин, реальность превосходит мои ожидания! Эксплуатируемые массы уже поднимают головы, и, я должен подчеркнуть особо, это не имеет никакого отношения к анархизму, дорогая Полин! Все это событие — не что иное, как классовая борьба!»

Этсэтэра, и так далее, и так далее... в сопровождении щедрой жестикуляции и капелек слюны вперемешку с крошками французской булки, летящими рикошетом с его виляющей бороды на наши лица.

Достопочтенные дамы и господа, наше потомство, ну, только посмотрите на эту Полин! Она тоже возбуждена! Глаза ее горят. Ничтожная газетенка трепещет в ее пиано-пальцах... девочка моя... неужели тебе к лицу образ богини классовой борьбы?

«Спасибо за хорошие новости, Маркс!» — сказала она. Понятно, девица называет человека в два раза ее старше без излишних церемоний. Извольте, манеры Молодой России к вашим услугам! «Я так счастлива, Карл!» Так-так, он уже просто Карл для нее. Может быть, их отношения зашли уже слишком далеко, пока я воевал со своим драконом? Клубочки дыма из ее ангельских губ отравляют воздух Английского сада. Прохожие столбенеют в изумлении. Курящая барышня! «Ну что ж, Карл, не следует ли нам сегодня вечером отпраздновать такое живое подтверждение вашей гениальной теории?»

«Следует! Следует!» — воскликнул он. Она захлопала в ладоши, как дитя: «Выпьем шампанского за лионских ткачей! Обещаю быть самой красивой барышней в Рулетенбурге! Гиганты литературы и науки вместе с принцессой красоты празднуют зарю классовой борьбы!» Даже и ко мне она снизошла с улыбкой: «Ты тоже счастлив, Федя? Дашь мне десять талеров, чтобы выкупить мое парижское платье у процентщицы?»

«Полинино платье заложено? — Карлушка возмущенно повернул ко мне свою львиную голову. — Ее платье? В сундуке ростовщика?»

Я пожал плечами: «А что особенного? Когда воюешь с драконом рулетки...»

Аполлиария расхохоталась: «Драконам иногда жертвуют и обнаженных девиц, что уж говорить об их платьях! Что ж, Маркс, может быть, вы выступите в роли щедрого благодетеля? Все-таки вы ведь экономист?»

Маркс был ошарашен: «Простите, Полин, вам не кажется, что мы все немного заигрались в тот момент, когда лионские ткачи берегут каждый сантиметр, чтобы продержаться? И потом... ммм... так или иначе, но... не далее, как вчера я сделал заем в размере двух талеров вашему... ммм... другу... месье Теодору...»

Аполлиария была неотразима в этот момент полнейшего смущения: она покраснела, она бросала пристыженные взгляды из-под своих ресниц, своими пиано-пальцами она мяла и крутила носовой платочек, и все это было полнейшим притворством. Не без облегчения я осознал, что она вовсе не была посвящена в члены марксистского клана, во всяком случае, пока нет. Без всякого сомнения, она была беззастенчиво цинична в отношении нас обоих. Мы оба для нее были просто похотливыми старикашками. Она просто забавляется, разыгрывая Музу двух гигантов, двух старых зануд.

Я вынул два талера и протянул их Карлушке, выразив при этом самые красноречивые чувства благодарности и извинения, на которые я только был способен: «Надеюсь, вы простите мне, сударь, те неудобства, которые я вам причинил, мое безрассудство и — о да! — мою русскую несуразность».

Затем я извлек десять талеров и сказал Апо почти грубо: «Выкупай свое платье!» Она подпрыгнула: «Федя, я люблю тебя!»

Нечего и говорить, празднование по поводу стачки лионских ткачей превратилось в гадкий водевиль. За ужином Карлушка не переставал атаковать Святую Русь, называя ее «чудовищем невежества и мрака», которое, без сомнения, всегда будет главным препятствием на дороге истории, другими словами, наша бедная отчизна может стать единственным отклонением от законов только что открытой науки развития цивилизации, то есть от его собственного вздора. Нецивилизованная в самой ее сокровенной сути Россия слишком велика и слишком бесчувственна, амебообразный мешок протеина, не более того.

В конце концов, я сорвался: «Перестаньте дерьмо молотить, Маркс, у человеческих ушей тоже есть пределы! О каких бы паршивых протеинах вы ни говорили, вы, надеюсь, не собираетесь нас убеждать, что жизнь — это просто форма существования белковых тел и ничего больше. И, пожалуйста, забудьте хоть на время о своей привычке заносить в ваш засаленный блокнот всю ту чепуху, что мы сейчас несем после шампанского! Что касается России, то я хочу высказать одну святотатственную идею, которая сейчас пришла мне в голову Единственной страной к западу от Урала, что примет ваш вонючий теоретический абсурд, будет Россия, с ее отсутствием логики и здравого смысла, с ее приверженностью ко всякого рода ложным пророчествам!»

Вопль сотен боевых труб, какофония гулких сибирских пустот. Аполлиария хохотала над нашим спором до икоты.

И течение нескольких дней я серьезно взвешивал возможность дуэли с этим противным геноссе Марксом. Не важно, что он еврей, а я русский дворянин; даже еврей заслуживает смерти за бесконечный поток плоских, дешевых острот.

Боже, он был просто невыносим в его попытках посмеяться надо мной перед мадемуазель Сусловой. Могу себе представить его «золотое детство» где-нибудь в Вестфалии, когда бесчисленные дядюшки и тетушки восхищались Карлушиным «уникальным остроумием». Словом, он просто из кожи лез, чтобы посмеяться надо мной как над неудачником:

«Посмотрите на нашего бедного сибиряка, Полин. Кажется, он далек от своей клятвы победить дракона!»

Ему, очевидно, малость везло в те дни. Я видел его в казино то с горстью жетонов, то с толстой записной книжкой, в которой, думается, идеи азартной игры перемежались с рецептами классовой борьбы, подпорченной такими тошнотворными ингредиентами, как «полезный труд», «сверхпродукция», «накопление», «отчуждение собственности» и т.д., иными словами, с его схемами будущего человечества. Не говоря уж о человечестве, я был уверен, что он хочет загипнотизировать одно, хоть и модное, но чертовски простодушное существо, то есть украсть у «бедного сибиряка» его единственный стимул жить и писать.

...Прошлой ночью я видел, как они возвращались с концерта. Я заметил его победоносную улыбку и ее невинный вид (знаю по собственному опыту, что означают эти невинные виды). Вот тут я и пришел к решению вызвать его на следующее же утро! Я подготовил короткое, но неудержимо оскорбительное заявление, которое я адресую ему в ее присутствии. Оно начнется так: «Любезнейший Муке...»

По каким-то причинам он не появился ни за завтраком, ни за дежне. В то утро меня кошмарно мучила экзема, зудело все тело... Я даже не отвечал Аполлинару, чей голос, необъяснимо веселый и энергичный, доносился сверху.

Позже, в казино, я натолкнулся на Маркса и уже готов был сказать ему «любезнейший Муке», когда внезапно заметил, что он чертовски не в себе.

Он схватил меня за локоть и сжал его обеими руками, то есть всеми своими одиннадцатью пальцами. «Вы ничего не знаете, Теодор? Он — в городе!» Кто он, черт возьми?

«Он! Проклятый испанец! Сальвадор!»

«Любезнейший Муке» был абсолютно разбит и потерян, он оглядывался вокруг в каком-то замешательстве и времена-ми почесывался, как будто он тоже был знаком с шалостями экземы. Выживая из его неясного бормотания кусочки смысла, я все же смог соорудить некую картину драматических событий сегодняшнего утра.

Неделю — или около того — тому назад господин Маркс (ни в коем случае не «любезнейший Муке») шпионил за своей Полин (он так и сказал «моя Полин», хотя, впрочем, тут же поправился — «наша Полин») и нашел ее на местной почте. Подглядывая через отверстие в задней двери, он увидел, что она посылает депешу в Париж.

Через пару дней она получила ответ и залилась счастьем. Сегодня утром она пошла на вокзал и встретила молодого (объективный наблюдатель должен признать — очень молодого и очень привлекательного) незнакомца иберийской внешности. Они начали целовать друг друга и занимались этим, по часам, пять минут без перерыва. Потом они начали говорить, и она называла его Сальво, а он ее — Ало. Господин Маркс был вне себя от возмущения — разве это не вполне откровенное проявление самоиндульгенции в наши суровые времена? Он выдвинулся вперед из-за фонарного столба и обратился к паре с вопросом: «Который час?» Он даже слегка их подтолкнул.

«Вообразите, Достоевский, они прервали свои поцелуи, или, лучше сказать, жевание друг друга, взглянули прямо на меня и не заметили меня! Слепыми глазами, мой бедный сибиряк, совершенно стеклянными глазами посмотрели они и сказали: „Пол-третьего“, — хотя большие часы прямо перед ними без всяких околичностей показывали без десяти четыре.

Со станции Сальво и Ало бросились в отель и беззастенчиво нырнули прямо в ее комнату. Они и сейчас еще там, мой бедный сибиряк!»

Вдруг меня пронзило довольно странное в таких обстоятельствах сочувствие к этому пареньку. Так или иначе, но у нас, очевидно, есть что-то общее, если уж мы испытываем те же самые (или, скажем, похожие) чувства в адрес избалованной и возмутительной персоны.

«Мой бедный палестинец, — сказал я ему и предложил понюшку табаку, фактически все, чем обладал в данный момент. — Позвольте мне откровенно вам сказать, что до сих пор я вас очень сильно недолюбливал. Вот уж не думал, что германский ученый муж, социолог и экономист, иначе говоря, изощренный самозванец может быть так одурманен страстью. Через эту муку я и сам прошел, и потому сейчас я предлагаю вам единственное утешение, которым располагаю, — эту жалкую толику табаку-с. Приступайте, нюхайте и чихайте, это принесет облегчение!»

«Я знаю, мы не соперники, Достоевский, — сказал он, все еще дрожа. — Гиганты могут задирать друг друга, но в глубоких тайниках своих душ они всегда союзники. Нам нужно наказать это ничтожество, совместно мы должны дать бродяге хороший урок!»

Тут я его сурово ограничил: «Надеюсь, вы не имеете в виду мою Музу?»

«Нет! Нет и нет! — лихорадочно воскликнул он. — Говоря „бродяга“ и „ничтожество“, я имею в виду этого сосунка-испанца, этого клоуна Сальво, этого наглого нарушителя нашего гармонического содружества трезвых умов и вдохновенных душ...»

Мой бедный палестинец едва не плакал. Я положил ему руку на плечо. Он мне нравился.

Впрочем, вскоре слезы его высохли, и он снова взялся запускать фейерверки пламенных слов и угрожающих взглядов. Мог ли кто-нибудь предположить такой запас взрывчатых веществ в обычной затхлой библиотечной крысе?

«Мы раздавим гнездышко прелюбодеев! Вы, Достоевский, вызовите Сальво на дуэль! Я обещаю быть вашим секундантом! Вы увидите, он немедленно наложит в штаны! Он поймет, кто из нас настоящий мужчина, а кто молокосос!»

«А почему бы вам его не вызвать, Карл?» — спросил я осторожно. По причине, непонятной мне самому, мне не хотелось терять внезапную привязанность к этому чудиле, кроме того, мне вовсе не хотелось играть роль тарана в этой любовной битве.

Он чихнул однажды, дважды, трижды. «Теодор, я надеюсь, вы не подозреваете меня в желании спасти свою несуразную жизнь за счет вашей, бесценной! Однако дуэли как отвратительное наследие старого мира резко расходятся с моими убеждениями, а они, то есть мои убеждения, это единственное сокровище, которое неисправимый мот оставил нетронутым».

«Неисправимый мот» мне снова нравился. «Простите, Карл, но я боюсь, что Сальво отклонит мой вызов на тех же основаниях. Все-таки ведь он и сам человек самых новых убеждений. Насколько я знаю, он один из ваших последователей, марксист!»

К этому моменту мы стояли возле фонтана, увенчанного глубоководным монстром в окружении похотливых наяд. Вождь самой дерзкой и дальнобойной европейской идеи перед образчиком безнаказанного злоупотребления бронзой... Зрелище почти невыносимое.

«А вы сами вообще-то марксист?» — спросил я со всей симпатией, на какую только был способен. «Конечно, я марксист». Я потрепал его по плечу: «Единственная разница между вами и Сальвадором заключается в том, что вы марксист теоретический, а он практический». Маркс рассмеялся: «Спасибо, Теодор, за урок сибирского стоицизма. Давайте-ка выпьем, а потом — играть, играть и играть!»

В этот момент он мне нравился больше всего.

Всю ночь Карлушка делился со мной секретами своей научной антирулетной системы. «Весь этот подлый вздор казино, Тэдди, — говорил он мне, — каково, зовет меня Тэдди, — так же как и весь гнилой капитализм, основаны на фетишах и стереотипах. Моя система, как в жизни, так и в игре, напротив, базируется на решительном отвержении фетишизма как такового. Освободившись от древнего обмана, мы станем непобедимы».

Честно говоря, я предпочел бы не описывать весьма ридикульного, наполеоновского поведения моего нового друга в начале той ночи. Из разных углов зала он посылал мне какие-то необъяснимые знаки и жесты, словно Император, направляющий свою гвардию. Иногда он вдруг менял тактику и начинал околачиваться за плечами у игроков. Однажды я заметил его мохнатое лицо, искаженное хитрой гримасой, прямо над декольте баронессы Энфуа. Он был похож на диковинного зверька, только что привезенного из Австралии. Время от времени он пробивался ко мне, совал мне в карман горсть фишек или клочок бумаги с инструкциями к следующему ходу. В те моменты, когда нашим телам случалось соприкоснуться и, в соответствии с законами трения, выделять дополнительный жар, я мог слышать его лихорадочный шепот.

«...Юность безжалостна, похоть непреклонна... О, Тэдди, дорогой, как я счастлив, что не остался один в эту судьбоносную ночь; ведь, невзирая на тысячи последователей, я так одинок. Мой ангел никогда не ездит со мной в Рулетенбург. Мой ангел никогда не знал игровой горячки, он всегда укоряет меня за эту слабость. Он говорит, что этот отвратительный пережиток коррумпированного мира не к лицу мне, самому решительному критику этого мира...»

К тому моменту я еще не разобрался, что, говоря «мой ангел», Карлушка имеет в виду своего ученика Фрица Энгельса. Этот недостаток сведений, надо сказать, создавал какую-то дополнительную двусмысленность.

«...Мой ангел даже не принимает во внимание такой аргумент, как необходимость нанести мощный удар по капищу чистого капитализма, экспроприировать его сокровища для правого дела!

...Теодор, мы можем построить дивную коммуно, Теодор! Это будет идеальная ячейка общества будущего: вы, Полин, мой ангел, я лично... мы можем даже пригласить этого слащавого испанца... как его зовут... этого Сальвадора... Откуда он взялся, в конце концов? Уверен, что он из мелкой буржуазии, как и большинство моих последователей, к сожалению... Тэдди, эти лавочники, без должных инструкций, могут посеять хаос в классовой борьбе, так что мы должны будем приручить наших птичек в нашей ячейке. Впрочем, если вы возражаете, Тэдди, Сальвадор не будет допущен в коммуно! Единственное, что нам нужно для будущей гармонии — эти проклятые золотые фетиши... Юность можно соблазнить только политическими идеями или деньгами; лучше — и тем и другим. Зрелость, мудрость, гармонические концепции в экономике — все это лишь словесная шелуха для юных нарциссов нашего жалкого времени... Политика и деньги, дешевые вдохновения и дорогие подарки... эта проклятая метафизика все еще существует, несмотря на наши открытия...»

Вскоре после этого лихорадочного монолога наша «научная система» начала позорно разваливаться. Как еще могло быть, ведь колесо Фортуны — это не что иное, как модель антимарксизма. Бесконечные революции слепой удачи, перпетуум-мобиле неравенства... это может легко разрушить любую вашу систему, любезный Карлушка. Взгляните на все эти лица вокруг рулетки! Что вы прочтете на них? Корысть? Жажду прибавочной стоимости? Вы правы, майн либер герр профессор, но можете ли вы назвать что-то еще, другое нечто, могучее, симфоническое, полифоническое, если угодно, что угадывается за масками корысти? Это мечта! Все они жаждут удачи, и все они тешат себя бесконечной мечтой вскарабкаться выше других. Вот таким-то образом, мой злополучный реконструктор мира, и в этом-то и живет красота, красота несовершенства. Совершенство, увы, не предполагает более высокого уровня. Маркс застонал: «О, Тэдди, вы поете сущую серенаду капитализму!»

Глухой ночью, потеряв все наши деньги, мы опомнились на скамье в Английском саду, возле гигантского фонтана, который выглядел, как настоящее буйство барокко, со всеми этими преувеличениями человеческих округлостей, что казались такими неуместными двум неудачникам, погрязшим в трясине европейского застоя. Он почесал меж пальцев. Я почесался под мышками. «Страдаю от экземы», — признался он. «Я тоже друг, я тоже». Мы стали вяло говорить о симптомах старения... Что еще? Да ничего особенного, небольшие неполадки в мочеиспускании, некоторое замедление, меньше звонкости у струи... ничего больше... Я пробормотал что-то гуманное о своих приступах странности и последующего «видения», ощущении «причинности»... Он сардонически усмехнулся: «Причинность? Все так просто, а вы еще говорите о причинности». Никто из нас не хотел, как англичане говорят, назвать лопату лопатой, и так мы согласились на усталости белковых тел.

Небрежными пальцами покручивая свои трости, шурша шелковыми шлейфами, смеясь, обмениваясь остротами, свита баронессы Энфуа прошла мимо фонтана, даже не заметив двух ссутулившихся банкротов. Семидесятилетняя мегера, истинная Пиковая Дама, опять рванула банк.

«Это довольно несправедливо, — прошептал Маркс. — Старая кляча сказочно богата, и она забирает банк третью ночь подряд...» После паузы он добавил: «Говорят, что она держит все выигранное богатство в номере отеля, все ассигнации и монеты и одном кожаном мешке. Случайно, Тэдди, я заметил, что в ее апартаменты можно легко проникнуть через служебный подъезд...»

Я сжал его запястье: «Карл, о чем вы говорите?» Опять я испытал знакомый момент мимолетного головокружения. Мне казалось, меня засасывает и одновременно выталкивает какая-то бездонная воронка, что я во власти и центробежных, и центростремительных сил... и тут я уловил зарождение нового романа!

Он чесался и хихикал: «Почему нет? Так или иначе, решительная, умелая революционная акция могла бы остановить бессмысленное вращение так называемой Фортуны, другими словами, ненасытное расхищение. Экспроприруя ее дикие деньги, мы просто восстановим историческую справедливость, мы вложим дивиденды ее пустой и порочной жизни в дело социального прогресса!»

«И ради этих великих целей, Карл... — начал я осторожно, как бы стараясь не спугнуть мой новый ошеломляющий замысел и в то же время не ободрить его дьявольских намерений... — ради вашей грандиозной теории прибегли бы вы к... нет, нет, конечно, нет, простите...»

Он засмеялся победоносно, однако с некоторой ноткой истерии: «Перестаньте, Теодор! Задавать такие вопросы после ваших сибирских злоключений... Перед лицом наступающих величественных тектонических сдвигов вас интересует судьба жалкого трутня, нахлебника трудящихся масс, этой непристойной пиявки на теле человечества? Ей-ей, я начинаю сомневаться в величии русской литературы!»

Я схватил его за жабо и свирепо тряхнул, как будто я действительно был гигантом из сибирских соляных копей: «Вы, немецкая колбаса, тухлая капуста! Плюну ли я в вашу физиономию или поцелую ваш странно благородный лоб, зависит от вашего ответа: вы говорите о баронессе теоретически или практически?»

«Конечно, теоретически, — промямлил он. — Я никогда не говорю практически».

Голос его заглушался бородой, основательно взбитой моим гуманистическим, хоть и несколько лицемерным, порывом. Он дрожал. Глаза его, полные ужаса, смотрели поверх моего плеча в направлении юго-западном от моего уха, то есть в глубины Английского сада.

Я повернулся и увидел двух имперских жандармов в их шлемах с перьями и с усатыми носами. Они направлялись к нам, неся на лицах выражение непреклонной снисходительности. Дух этой снисходительности и беспристрастности распространялся все больше по мере того, как они, позвякивая шпорами, приближались.

«Герр Маркс, вы арестованы по обвинению в нелегальном проезде через границу». По аллее, покрытой аккуратным, как яички, булыжником, к фонтану подъехал тюремный фургон.

Великий Перестройщик вынул золотую монету достоинством в один фридрихсдорф и протянул ее мне с грустной улыбкой: «Я сэкономил это на завтрашний ленч, чтобы еще дальше продвинуть русско-европейские дискуссии, однако с этой ночи мои лично ленчи, увы, будут бесплатными. Воспользуйтесь этой монетой, мой бедный сибиряк, для любой цели, какую пожелаете, или просто сыграйте ею на красное...»

Он уронил голову и отдался в руки жандармов.

Остаток ночи я провел в полицейском участке, стараясь вызволить этого злополучного малого из тюрьмы. Я зашел так далеко, что даже предложил свое опекунство. К несчастью, власти не выказали никакой элегантности ни в отношении арестованного, ни в отношении возможного опекуна. Мне было просто сказано, что в моей собственной довольно двусмысленной ситуации, учитывая печальную известность, что я снискал средивладельцев отелей и ростовщиков, мне бы было лучше держаться скромнее и не высовываться. На рассвете я получил короткую записку из-за стен узилища.

«Дорогой Б С, не беспокойтесь обо мне. Мой ангел Энгельс возьмет на себя все. Он прекрасно знает, что делать при такого рода практических превратностях жизни. Могу ли я взять на себя смелость и посоветовать Вам оставить П. и С. и сконцентрировать все свое величие на Российском просвещении? Спасибо за историческую встречу. Ваш Карл Маркс, кандидат экономических наук».

Лезу из кожи вон, чтобы последовать его совету. Пишу эти строки и стараюсь не слышать голосов любовников, с идиотской оживленностью обсуждающих наверху непостижимую поездку в Аргентину. Нынче мне не до них, пора оценить истинную ценность марксизма, сопоставить его с Любовью, Ревностью и Рулеткой...

## Почти Рождение Почти Нового Мифа

В этот момент чтение с компьютера и печатание прочитанного бесценного материала были неожиданно прерваны. Филлариону вдруг показалось, что он не один в комнате, а еще точнее, он вдруг ощутил себя под внимательным и враждебным наблюдением. Он обернулся и прямо за своим плечом на безупречно оштукатуренной стене, которая призвана была как бы вносить дух глубинки и стабильности в эту часть Тройного Эл, увидел огромную многоцветную «гусеницу». Не имея в наличии никаких органов зрения, эта тварь (или эта штука?) пристально и угрожающе наблюдала за ним.

Известно, что в подобных обстоятельствах истинный библиофил подсознательно печется не о личной безопасности, а о сохранности своего печатного или рукописного материала. Профессор Фофанофф ни при каких обстоятельствах не был исключением. Как раз наоборот, собственной плотью, говоря точнее, своим гаргантюански гигантским пузом, он попытался защитить уже отпечатанные страницы великого наследия. Увы, он не располагал ни временем, ни пространством для маневра в желаемом направлении. Невероятная

«гусеница», размерами не менее французского горна, перепрыгнула через его плечо на принтер и в мгновение ока пожрала все листки дневника без остатка.

Не будет неуместным сказать тут, что это было сделано без каких-либо видимых органов жрания, не будет также преувеличением заметить, что, производя эту гнусную акцию, тварь (или устройство?) шипела, как комбинация огнетушителя и змеи-медянки, при полном опять же видимом отсутствии органов шипения. «Вот уж действительно продукт Лиги ядовитого плюща», — произнеслось в голове Фила. В этот момент он не отдавал себе отчета в том, что смешивает два несовместимых понятия.

В следующий момент его мыслям пришлось сделать поворот в противоположном направлении, а именно в сторону его собственного незащищенного грешного тела. Сразу после совершения злодеяния в отношении бесценного текста «продукт Лиги ядовитого плюща» прыгнул в том же направлении, другими словами, в сторону его живота, еще точнее, на его изношенный замшевый пиджак, который пятнадцать лет назад в Кривоарбатском подарен был ему с собственного плеча знаменитым кинематографистом Орсоном Уэллсом.

«Пиджак Орси должен быть спасен!» — решительно воскликнул Филларион и схватил гнусную тварь за хвост, если можно так сказать о части тела огромной «гусеницы», которая и вся-то выглядела, как чей-то хвост, хоть и существовала сама по себе, испуская дьявольски вонючую, сродни окиси железа, секрецию.

Несколько мгновений они свирепо сражались. В течение этих мгновений мысли Филлариона опять переменяли направление. В этот раз они перелетели огромное пространство истории в те времена, когда эллинские фризмы существовали живьем, то есть двигались, во времена Лаокоона и битвы на Флегрейских болотах. «Вот вам, пожалуйста, происходит рождение нового, мифа!» — думал профессор. Мысли агрессивной «гусеницы», увы, находились за пределами нашего понимания. Может быть, они вообще не являлись предметом литературы.

Вдруг вся мифология лопнула: дверь читальной комнаты распахнулась, и симпатичный аргентинский ученый Карлос Пэт-си Хаммарбургеро вошел, насвистывая беспечный мотивчик. Зловещая «гусеница», как будто смущенная неожиданным свидетелем, немедленно прекратила так успешно развивающиеся злодеяния, бросила пузо Фила, пружинисто отпрыгнула на стену и начала в этой стене быстро исчезать, часть за частью, кольцо за кольцом, со всеми своими отростками, пока стена не предстала перед нами полностью в непорочном виде.

В результате этой прерванной битвы замшевый пиджак Орсона Уэллса превратился в дымящуюся бахрому, болтающуюся на теле Фила наподобие каких-то изошренных спагетти, однако наиболее суровые повреждения были нанесены штанам нашего мифологического героя. Волосатая плоть виднелась через многочисленные дыры, и хорошо тренированный глаз, подобный тем, что находились в распоряжении спецагента Доллархайда, мог бы заметить в прорехах еще дымящуюся шахту пупковой зоны, равно как и обожженное возвышение лобка.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### Как Египтянин, Молящийся Изиде

«Привет, Фил!» — сказал сеньор Хаммарбургеро. «Хай, Пэт-си, — ответил почти состоявшийся Лаокоон. — Ну, как вам нравится это исчадие гусеницы?» Пэтси сел и скрестил ноги в почти безупречной британско-аргентинской манере. Почти безупречные легкие туфли, почти безупречные носки, почти безупречно отглаженные панталоны. Он помахал рукой, чтобы разогнать слегка раздражающий дым, а также пар и вонь, оставшиеся после битвы, и одарил русского коллегу дивной, близкой к совершенству улыбкой.

Общее впечатление от этого молодого человека обычно заключалось в коротких популярных фразах вроде «какой милый», «какой толковый» и тому подобном. Он считался красивым, хотя взятые по отдельности иные его черты являли собой полнейшую как бы несовместимость друг с дружкой: узкое европейское лицо и косоватые азиатские глаза, веснушки и рыжий ирландский вихор и большой, смело очерченный рот «негритюда».

Елки, обычно вздыхал Пэтси, я — дитя нашего несуразного века. Холодная война и дуновения разных оттепелей и перестроек, международная контркультура и классический колониальный уклад, порывы спонтанной щедрости и циничные тайные операции,

вдохновение и банальности — елки — все эти и бесчисленные другие феномены приняли участие в моем возникновении и развитии.

Хоть я и рос в буколической атмосфере богатого поместья на Ла-Плате, я подозревал, и не без причины, что некий дешевый отель в бассейне Тихого океана предоставил койку для того злополучного совокупления, что в конце концов привело к моим сегодняшним признаниям. В детстве, бывало, время от времени я получал какие-то странные посылки, то с эротическими книгами по-французски, то с резиновыми игрушками вроде Микки Мауса, Супермена, Человека-паука, Жестяного человека, Космического волшебника и так далее, а однажды даже пластиковый метод с конфетками «джели-биинс».

В те дни, когда я получал эти несуразные дары, я становился диковатым, меланхоличным и одновременно агрессивным, способным к непостижимым поступкам. Однажды, например, осквернил, то есть подверг вандализму бесценную коллекцию мраморных скульптур, принадлежащих отцу, в другой раз начал безобразно оскорблять наших крепостных, немисливо гордое племя тамошних индейцев. Мои родители были в отчаянии из-за этих приступов иррациональности. Даже и сейчас я не знаю, были ли они на самом деле огорчены моим исчезновением.

Но уж, только не говори нам, Пэтси, что ты был похищен, хихикали слушатели. Сеньор Хаммарбургеро только пожимал плечами и улыбался. Современный мир развращен грязным потоком беллетристики, документалистики и элементарной лжи, он невосприимчив к правде. Разумеется, я был похищен, хотя некоторые газетчики распускали слух, что я сам убежал. Меня похитили оскорбленные индейцы в сотрудничестве с израильскими охотниками на нацистов. Они продали меня бесплодной паре западногерманских миллионеров, издателей, придерживавшихся строгих коммунистических убеждений, так что все мои подростковые годы я воспитывался как юный пионер марксизма-ленинизма. Я гонял свой «Порше» и распространял подстрекательные листовки среди иностранных рабочих в Рурской индустриальной зоне. Ходили слухи, что я был связан с группой «Баадер — Майнхоф», с одной из их революционных ячеек... прошу вас, не верьте этому! Анархистские идеи были чужды и мне, и моим родителям, мы были действительно передовыми, хорошо подкованными революционерами. О, Роза и Вилли, надо отдать им должное, они всегда приветствовали все мои самые смелые начинания, если только они были продиктованы классовым сознанием. Так, они не возражали против моего решения переехать в СССР, чтобы самому ощутить славную поступь социализма. Они даже не возражали против моего формального усыновления товарищем Швалиным, тогдашним председателем Телеграфного агентства СССР.

Великие времена колоссальных ожиданий и горького пробуждения... и нечего хихикать, господа! Приобщившись к советской элите, я сместился к ее левому флангу. Как вы, возможно, знаете, «левый» там — это «правый» здесь. В конечном счете, я присоединился к группе дерзких писателей, называвшейся «Метрополь». С тех пор и навсегда меня заклеили как вырожденца и провокатора. В конце концов, мне пришлось бежать с родины слонов, как беззастенчиво называли свою страну люди поколения Миши Горбачева. Позади остались ворох разбитых иллюзий, кучка внебрачных детей, несколько чемоданов личных вещей.

На Западе я нашел много изменений. За время моего отсутствия мои аргентинские родители познакомились с моими немецкими родителями и заключили соглашение об обмене супругами. В результате мой аргентинский папа женился на моей немецкой маме, а моя аргентинская мама вышла замуж за немецкого папу. Жаль, что они не сделали этого раньше, когда я был просто бедным похищенным ребенком, потому что только после этого обмена у меня появилось подлинное чувство семьи. Вот такова вкратце история моей жизни. Чертовски надуманная история, не кажется ли вам? — обычно смеялись коллеги. Си, сеньорес, кивал Пэтси, я действительно чертовски надуманный персонаж.

В течение этого невольного отступления от развития нашего сюжета главный герой не переставал ворчать по адресу назойливой твари, совершившей нападение на материалы его исследования и личную собственность. Он явно чувствовал себя оскорбленным.

— Не обращайтесь вниманья, — посоветовал присутствующий вспомогательный персонаж, то ест Пэтси Хаммарбургеро. — Рех с ней, с этой платью! — добавил он на превосходном русском. — Не пытайтесь меня убедить, что вам и раньше не встречались такие чудища в библиотеках. Я хотел с вами поговорить о другом и, похоже, более срочном деле. Не могли бы

вы мне сказать, дорогой москвитянин, как далеко зашли ваши отношения с мисс Урсулой Усрис?

— Что такое, — вскричал Филларион. — Что дает вам право задавать столь неуместный вопрос, сэр?

На самом деле, как и любой влюбленный, он был чертовски доволен таким неожиданным поворотом разговора от объекта отвращения (гусеница) к субъекту обожания (Урси).

— Я не настаиваю на ответе, — сказал Пэтси, — хоть и это в самом деле очень важно... именно для вас, мой друг, а не для кого-нибудь другого в Яйце...

— О'кей, — сказал Фофановф. — Давайте выпьем кофейку. Вы меня дьявольски заинтересовали.

Они наполнили свои чашки неким условным напитком, известным как кофе, текущим из постоянно циркулирующей в Тройном Эл кофеносной системы.

Фил испустил глубокий вздох, не лишенный меланхолии.

— Увы, я еще не изучил ее до желаемого уровня. У нас было всего одно свидание, вполне удовлетворившее нас обоих... Ну, знаете, может быть, я буду ближе к сути этого события, если назову его не свиданием, а искристой увертюрой типа Россини. Вы знаете, что я имею в виду.

— Разумеется, — сказал Пэтси и кивнул с неподражаемой серьезностью.

— Что касается всей оперы, то занавес еще не открылся, — Филларион снова вздохнул, на этот раз во всю силу своих перегретых альвеол, что создало впечатление открытой кузни. — Ну, а теперь, Пэтси, бросьте ваши утонченные улыбочки и скажите, почему вы спрашиваете.

Международный денди помахал рукой, пожалуй, с некоторой небрежностью.

— Мне следует подчеркнуть, Фил, что это, конечно, важно, но... но в общем-то не чересчур важно... Вы, возможно, знаете, что мы с Урси живем в одном кондоминиуме...

В этот момент Филларион начал вздыматься, зарокотал громоподобно, как будто стараясь оправдать свое прозвище Пробосцис-Хобот.

— А я и не знал! Значит, вы любовники, так?!

— Не судите обо мне так одноцветно, сэр, — улыбка Карлоса Пэтси Хаммарбургера приоткрыла ну уж прямо высшую шкалу утонченности. — Мы просто соседи по модному коопу Кондо дель Мондо вместе с другими нашими коллегами, Хусса-косан, супругами Абажур, вашим соотечественником Жукоборцем, например... Фокусируя внимание на этом простом факте, я просто хочу с вами поделиться некоторой дополнительной информацией, которую я волей-неволей заполучил. Что касается личных чувств, ни я, ни Урсула никогда не имели по отношению друг к другу ничего, кроме легкого взаимного отвращения.

— Отвращения? Отвращения к мисс Усрис?! — Филларион вздымался и опадал, стонал и вскрикивал от болезненного недоумения.

Здесь нам следует сказать, что если отдел КГБ Хранилище всерьез отобрал профессора Фофановфа для какой-то свертонкой операции, если это не было просто отвлекающим маневром в игре (а эти игры, как известно, нередко выходят за пределы художественной литературы), то выбор их был явно ошибочным. Неудержимая спонтанность мешала профессору удержать за зубами даже малюсенький секрет, не говоря уже о личных эмоциях.

Так и произошло. Фил немедленно вывернулся наизнанку перед малознакомым молодым джентльменом, называя доктора наук Урсулу Усрис совершенно необычной персоной женского рода, что глаже тюленьчика и пушистее медвежонка-коала, и в то же время существом высочайшей интеллигентности и независимости, которое категорически запрещает величать ее зябликом и глупышом, но не возражает против Жемчужной Лагуны, персоной, чьи глаза, разумеется, напомнят любому кусты сирени вдоль запретных зон Балтийского побережья, цветущей сирени разгара белых ночей, которые заставят тебя почувствовать себя человеком XIX века, гуляющим вдоль таких же кустов в тех же, тогда еще незапретных зонах.

Пэтси кивал со знанием дела на все откровения Фила, а потом сказал, погасив свою вечную двусмысленную улыбочку:

— Да вы действительно влюблены, мой дорогой рыцарь Перестройки! Знаете, я весьма впечатлен этой вашей Жемчужной Лагуной, однако позвольте мне также вам сказать, что над вами нависла большая опасность, мой друг!

— Что вы имеете в виду?! — воскликнул Филларион неожиданным фальцетом. — Как может это могучее чувство, эта жажда, столь напрямую именуемая любовью, ассоциироваться с какой-либо опасностью?! Я испытывал эти благотворные вихри не менее пятисот раз, и они ни

разу меня не подвели. Напротив, они всегда вдохновляли мою беллетристику и мое бельканто, не говоря уже о плавности движений, которой они всегда способствовали!

Сразу после этого смелого заявления собеседники отправились глотнуть свежего воздуха, проехали на паре эскалаторов и на паре лифтов, прошли мимо поста охраны, где можно было увидеть мрачную фигуру шефа безопасности Каспара Свингчэара, в конечном счете, вывалились из Яйца в прозрачный и как бы похрустывающий вечер ранней вашингтонской зимы. Известная всем сова из Флаг-башни Смитсоновского института плыла вдоль воздушных потоков, словно пожилая балерина Большого театра навстречу неизбежной отставке.

— Экие подонки и дармоеды, — проворчал позади мистер Свингчэар. — Особенно хорош советский бездельник. А какая безобразная манера одеваться — все интимные места наружу... а этот запах горелой кожи, как будто парень только что дрался с огнедышащим драконом. Хотел бы я знать, как долго общество будет терпеть нахлебников вроде этих двух, один — полный чудак, второй — трепло; и это ученые наших дней!

Не успел еще он завершить своих мрачных наблюдений, как предмет недавней дискуссии Урсула Усрис шустро выскочила из внутренних сфер Яйца. Шеф охраны, в прошлом большой шаток таких бойких молодых женщин, выделил этого доктора наук из общего числа и сделал ее счастливой реципиенткой его сумрачных улыбок. В этот раз в ответ на ее быстрое «Куда они пошли?», он снисходительно ткнул большим пальцем в сторону обелиска Вашингтона.

Так уж развивается наш сюжет, что мы не можем оставить читателю ни малейшего сомнения в том, что У У подслушала разговор Пэтси и Фила до последнего слова. Ее трясло от возмущения, и ее глаза в этот момент меньше всего напоминали кусты сирени на Балтийских тихих берегах, скорее уж — штормовые облака, собравшиеся над островом Борнео. Впрочем, лиловый — это неотъемлемая часть калимантанского спектра.

— Ублюдки, — шипела Урсула, как будто была в некотором родстве с недавно описанной отвратительной гусеницей. — Осмеливаются говорить обо мне! Обсуждают меня, словно я лошадь или наложница! Все мужики и все андрогины, разгребись они на фиг, должны быть уничтожены!

Вскоре после того, как мисс Усрис вылетела из Яйца, двое других ее коллег, а именно Хуссако-сан и месье Абажур, один за другим, с интервалом не более 30 секунд, проскользнули мимо поста охраны. Цель их была очевидна — внести еще больше беспорядка в развитие сюжета.

Нечего и говорить — ни Урсула не догнала свою цель, двух женоненавистников, ни француз, ни японец не нашли того, что они искали. Взводы потных конгрессменов и других джоггеров с Вашингтонского холма перекрыли все возможности для наблюдений.

Тем временем Пэтси и Фил мирно шествовали по направлению к большим зеленым лугам с развевающимися в прозрачном воздухе американскими флагами.

— Позвольте мне довести до конца мою мысль о докторе Усрис, — продолжил Пэтси, снова демонстрируя лучший вариант своей утонченной улыбки.

— Мисс Усрис предпочитает, чтобы ударение в ее имени ставилось на последнем слоге, — сухо поправил его Фил.

— Хоть это и звучит слишком суперлятивно по-русски, я постараюсь впредь удовлетворять ее желание, — сказал Пэтси. — Ну что ж, дорогой Фофанофф, вы, конечно, знаете, что в этом городе каждый работает на ту или иную разведку...

— Что?! — оборвал его Филларион. — Вы действительно так считаете?

Пэтси, который был также известен в академических кругах как человек, жестикулирующий всегда неадекватно своим словам, открыл свои руки наподобие пингвина:

— Разумеется, я так считаю, и у меня есть для этого основания. Почему вы так удивлены? Каждый завязан тут, по крайней мере, с одной шпионской фирмой, в этом нет сомнений. Вопрос только в том, на скольких хозяев вы работаете одновременно.

Вот вы, например, мой блистательный обитатель Кривоарбатского переулочка, на кого вы работаете, кроме КГБ?

— Ни на кого! — пронзительно вскричал Филларион и выпустил пары возмущения. — Ни на кого не работаю... — Он вдруг оборвал тираду, конечности его пали вниз, и пробормотал, как кающийся грешник: — Ни на кого, кроме КГБ, конечно...

— Это хорошо, — сказал Пэтси. — С вашей стороны это очень, очень хорошо. Если вы, живя в Вашингтоне и к тому же работая в столь сомнительном месте, как Либеральная лига Линкольна, работаете только на одну разведку, это говорит о ваших высоких человеческих характеристиках, об исключительной цельности вашего характера!

— Однако, Пэтси, вы же не будете утверждать, что все работники Яйца связаны со шпионами, вы же не будете этого говорить о моем безупречном друге Генри Трастайме?

— О нет! — воскликнул Пэтси. — Я этого не скажу. Единственное, что я скажу о Генри... — он прервался и глянул на Фила снизу, — это то, что он тоже сохранил высокую шкалу цельности...

— А вы-то сами, сэр? — Фил агрессивно выставил вперед нижнюю губу. — Наверное, вы только себя и считаете здесь единственно честным, свободным, незавербованным, не так ли?

— Я весь вымышлен и надуман, — вздохнул Пэтси не без сожаления, однако и не без определенного лицемерия. — Но даже я, невзирая на мою перекрученную фиктивную жизнь, располагаю определенной границей моральных стандартов, которую я никогда не переступлю. Во всяком случае, я знаю, как отличать мою секретную деятельность от моего личного мира.

Он продолжал:

— Увы, иные из нас теряют баланс, соблазненные фальшивой идеей неограниченной власти, и Урсула У. является одной, если не первой, из этих заблудших персон. Пожалуйста, Фил, перестаньте делать мне эти угрожающие гримасы. Если я правильно понял, вы еще новичок в нашем деле, однако с вашим, столь хорошо развитым воображением вы можете легко предвидеть, каким образом тренированный агент может ответить на угрожающие гримасы.

Итак, коротко говоря, пару лет назад ваша обожаемая У У, как многообещающий специалист по русским вопросам, была завербована индонезийским ЦРУ. О'кей, это личное дело каждого, принимать предложения от других школ или отвергать их. Основной наниматель будет молчаливо и тактично соответствовать неписаным правилам игры, пока его право первой ночи не нарушается. К сожалению, наша Урси с ее агрессивными женскими гормонами вырвалась из системы и превратилась в своего рода фурию этого города.

Позвольте мне повторить, Фил. В мире международного шпионажа основной наниматель обычно весьма терпим к своим людям. «Ваш» или, если угодно, «наш» — не исключение. Когда вы добавляете, перепродаете и снова перепродаете так называемые государственные секреты, вы просто снабжаете вкусной информацией гигантские компьютеры, и они уж ее переваривают. Так что, проблем нет, полный вперед — и предавай, пока ты не предаешь наш бизнес как таковой. И вот это-то и случилось с мисс Усрис, увы, не могу в данный момент сделать ударение на не последнем слого.

Третьего дня в ресторане «Слухи» я наткнулся на капитана Салтруканаджо, помощника хореографического атташе при индонезийском посольстве. Между прочим, вы еще не знакомы с этим очаровательным молодым человеком? При случае не упустите шанса, ей-ей, не пожалеете. Это просто к слову, но, дорогой Пробосцис, вы не можете даже представить, как горько Салтруканаджо жаловался на поведение объекта вашего обожания!

Она отбилась от рук, презрительно отменяет все приказы, не говоря уже о дружеских рекомендациях. Должен подчеркнуть, что ребята из других школ, с ней завязанные, тоже недовольны. События закручиваются самым разрушительным для современного шпионажа образом, девица решила играть свою собственную игру! Никто пока что не может определить ее главную цель, одно ясно каждому — результаты будут деструктивными и угнетающими. Я бы, конечно, не стал бы вам рассказывать обо всех этих неприятностях, если бы не одна дьявольская штука: не кто иной, как вы, сэр, являетесь главной мишенью ее подрывных намерений!

Эй, не хотели бы вы освободить мою левую руку из своего неоправданно болезненного зажима? В том случае, если вам не захочется этого сделать, боюсь, мне придется употребить один из трюков, которым я был обучен для применения в подобных обстоятельствах. У-у-у-а-с! Вы в порядке, Фил? О'кей, давайте продолжим. Надеюсь, вы понимаете, что единственной целью, которую я преследую, сообщая вам всю эту информацию, является попытка предотвратить любой потенциальный вред нашей победоносно шагающей вперед Гласности. Ну, во-вторых, конечно, мои личные симпатии к вам, мой незадачливый исследователь жемчужных лагун. Так что постарайтесь собраться и перенести неприкрашенную правду, которую я вам сейчас скажу. Урсула Усрис решила любыми средствами удалить вас с вашингтонской арены!

— Но что за причина? — произнес Фофановф еле слышно. — Что я ей сделал плохого, кроме одного великолепного фака?

— Причина — это ваше исследование по Достоевскому, — быстро ответил Хаммарбургеро. — У нее есть утечка, черт его знает откуда, что вы собираетесь принизить нашу милостивую западную культуру с помощью каких-то новых, то есть только что открытых материалов Достоевского. Естественно, никто не уполномочивал Урси становиться спасителем Западной цивилизации, но ее мегаломания бьет все рекорды. О нет, сэр! О, Фил, пожалуйста, не надо! Умоляю вас, Пробосцис, не надо петь!

К тому времени, когда аргентинец понял, что русский собирается петь свое горе в публичном месте, они как раз достигли Западной плазы и медленно шли от дверей Национального театра в сторону двух шикарных отелей, «Мэрриот» и «Уиллард»; здание Горсовета высилось через улицу. Множество людей в открытых кафе, театралов и постояльцев отелей, оказались загипнотизированы видом гигантского незнакомца, который внезапно решил выпеть свое горе в публичном месте.

Он пел:

Нет, нет и нет, сеньор Хаммарбургеро Карлос, известный как Пэтси, о нет, я не верю тому, что вы говорите о мечте моей Урсуле Урис, докторе наук!

Миленький Пэтси, как бы сильны ни были ваши аргументы, я не доверюсь им во имя любви! Выпеваю мою тоску из-за ваших сообщений, ручаюсь я верить, о верить только в любовь!

Как любовник, я верю не грубым фактам, но лишь грудям ее нежным, зоне пупка и межножью! На все ваши правдоподобия невзирая, я убежден в противном, ее ногами раскинутыми и ее руками сомкнутыми, и я поклоняюсь ей, как египтянин когда-то молился Изиде. О, да, О, да, как египтянин Изиде, О, да, О, да, братья, как египтянин когда-то молился Изиде!

Пожалуйста, остановитесь! — вскричал Пэтси, простирая руки. — Это уж слишком даже для гласности!

Публика столпилась вокруг экстраординарного певца, все были исключительно вежливы и тактичны (таков уж стиль нашей столицы), иные зеваки демонстрировали дивную щедрость, бросая монеты и купюры вокальному виртуозу, так сильно пострадавшему от любви. Два джентльмена, в костюмах-тройках и с портфелями крокодиловой кожи в руках, со знанием дела говорили, что певец этот — просто вылитая копия Паваротти, увеличенная версия небольшого певца, истинное воплощение мирового искусства и литературы, другими словами, поющая душа Восточного полушария.

Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в некоторых лагунах... Филларион продолжал петь, покачиваясь с носков на пятки и раскрывая руки, как будто пытаясь обнять отель, чье лобби, то есть вестибюль, полтора столетия назад родило слово «лоббист».

Успех! Каждая станса его бельканто сопровождалась взрывом аплодисментов. Его шапокляк был уже набит двадцатидолларовыми бумажками.

О, да, сэр, о, да, вы легко можете сказать, что я лишь пешка в ее руках, однако когда я касаюсь ее, когда я трогаю ее, о, братья, пешка моя переходит в ладью, и мы с ней, как королевская пара, о да, как царь и царица, о, да, о, да, братья, мы словно Кинг И Куин!

В последовавших за этим криках приветствия и аплодисментах никто и не заметил, что прямой адресат незабываемой арии исчез из вида. Где же он? Трудна задача автора, когда он пытается уследить сюжетные извивы целиком надуманного персонажа. Все же нам следует сказать, что в то время, когда колоссальное представление Фила было в полном разгаре, внимание Пэтси внезапно отвлеклось на клочок бумаги, приклепленный к одной из чистопородных лип перед отелем «Уиллард». Внезапно он ослабел, как будто какая-то основная струна лопнула в его стройном теле. Он еле смог подойти к дереву и прочесть послание, которое выглядело столь же неуместным в этой шикарной диспозиции, сколь майка с надписью «босс» выглядела бы на груди профессора Джин Кирклатрик.

Клочок гласил: «Найден маленький кот. Темно-бежевый, туманные голубые глаза. Нежен, когда в хорошем настроении. Пол — под вопросом. Может быть взят своим хозяином (требуется подтверждения) в любое время. Вознаграждение по договоренности...» и т. д.

В мгновение ока ироничный, всезнающий и уверенный в себе персонаж превратился в дрожащую медузу. Трясущимися пальцами Пэтси откнул записку, оглянулся в панике, как

будто до смерти боялся, что кто-то за ним наблюдает, и бросился со всех ног прочь. Как загнанный мустанг, он пробежал несколько кварталов, пока не свалился на скамью в сквере Фаррагот. Два завсегдатая этого сквера внимательно посмотрели на него, а потом обратились с довольно вежливым вопросом: «Эй, мужик, ты в порядке? Гребена плать, о чем ты стучишь зубами? Ну-ка, дай-ка нам „есть и пить“, мужик!»

Пэтси вынул свой «есть и пить», то есть бумажник, и протянул его одному из этих замшелых субъектов, после чего отключился от реальности в идеальном приступе летаргии.

Два «бомжа» — это были не кто иные, как Тед и Чарльз, с которыми мы уже познакомились при описании бурной жизни улицы Наполеона и Круасана — подсчитали наличность (51 доллар и 8020 иен), засунули пустой «есть и пить» в карман летаргическому парню и, довольные, заколебались в сторону закусочной Роя Роджерса. Хотя они ни разу не проголодались со времени прибытия в этот город, страшное видение полного коллапса западной экономической системы все еще преследовало их, и потому они всегда старались впрок набить до отказа свои бездонные багажники.

Филларион тем временем продолжал петь. *Я люблю тебя, у-у, даблю, как одна безумная душа поэта еще любить обречена. Я люблю тебя, даблю, моя у-у, моя у-у!*

Аудитория смеялась и аплодировала в полном восторге. Завершив свое экспромт-представление, он надел шапокляк. Пара долларовых купюр, вырванная порывом апалачского ветра, полетела в сторону Казначейства. Одна купюра прилипла к его мокрой щеке, остальные остались внутри подобою хорошему компрессу на темени. Триумф.

## Освежающие Дружья

Два дня спустя телефонный звонок разбудил нашего героя в его берлоге на Дикэйтор-стрит в 3 часа 45 минут утра: «Доброе утро, Фил-беби... Держу пари, ты узнал мой неизгладимый йоркширский акцент, не так ли? Иа, иа, это твой старый Дотти! Надеюсь, не разбудил, ведь ты же всегда был довольно ранней пташкой, верно?» — «Я только что лег, Федот Ксенофонович», — ответил Фил мрачно.

В телефоне щелкнуло. Немедленное разъединение.

Пополудни Фофановф остановился купить «горячую собаку» у филиппинца на углу Коннектикут-авеню и Эл-стрит (или Лорелай-стрит, в соответствии с его программой переименований). Торговец покрыл его сосиску щедрой блямбой горчицы и тихо сказал: «Записка внутри». Шествуя вдоль Конн и чавкая своим сочным куском американского культурного наследия, профессор читал узкую полоску послания, сродни тем, что Великий Ленин обычно вытягивал из чирикающих телеграфных машин времен Русской революции. Оно гласило: «Немедленно отправляйтесь в магазин Берберри и проявите желание примерить жилетку и шарф».

Вашингтонское отделение знаменитой Британской институции было расположено на тройном углу Конн, Род-Айленд и Эм (Маскарадной) улицы. Недавно обновленное здание XIX века с его довольно уродливой башенкой напомнило Филлариону извечное пятно в его анкетах, дом на улице Карла Маркса (бывшей Проломной) в городе Казани. Когда-то в этом доме помещался филиал «Зингера и К°», в котором брат его бабки, Петр Фомич Костанжогло, был совладельцем и членом правления. Кто знает, подумал Филларион, может быть, в ходе перестройки это капиталистическое пятно в моем прошлом обернется фонтаном, полным торжества. Едва он выразил желание примерить жилетку и шарф, его тут же препроводили в примерочную. Хорошенькая англичанка быстренько вывернула жилетку наизнанку, и он заметил в районе подмышки штамп «Ле Шан». Что касается вязаного шелкового шарфа, на нем был ярлычок с надписью «Уотергейт». Презентация сопровождалась очаровательной улыбкой, увы, приправленной типично британской сдержанностью: «Не угодно вам, сэр, слегка ограничить сферу деятельности ваших рук? Благодарю за дух взаимопонимания. Такси вас ждет!»

В такси Филларион не без труда произнес комбинацию двух не очень сопоставимых слов «Ле Шан», что подразумевало, разумеется, сияние Елисейских полей и Уотергейт, от которого за версту разило громовым всемирным скандалом. Шофер просто кивнул. По пути к круглым массивным стенам средоточения мировой скандальности он насвистывал какую-то изысканную мелодию своей родной Нигерии, а по прибытии к месту назначения вручил пассажиру квитанцию на пять с полтиной. На обратной стороне квитанции Фил увидел симпатично выписанную фразу: «Дюжина часописских устриц и бутылочка пива „Кири“ дружески освежат вас в следующие полчаса». Сосиска-хотдог, Берберри, такси, устричный бар, думал Фил. Похоже, что я в западне какого-то коммивояжерства.

На террасе ресторана «Ле Шан» его приветствовала пышущая здоровьем официантка Триша Декуик в майке с надписью «Футбольная команда русалок Потомака». «Как сегодня дела идут, приятель?» — спросила она без излишних церемоний. «Как тут у вас насчет освежающих друзей?» — «Ага, дюжина устриц и японское пиво? Прекрасный заказ, сэр! Сразу виден истинный джентльмен!»

После серии добродушных шуток и ошеломляющих исповедей, связанных со сложностями супружеской жизни, Триша подала «освежающих друзей». Ну, а к концу своего короткого пира Филларион получил буклет Лодочной станции Флетчера, что располагалась в двух милях вверх по Потомаку, на берегу параллельного могучей реке тихого канала Часапик-Огайо. Горячий возбуждающий шепот, направленный в заросли левой околоушной зоны, губки слегка покусывают мочку уха: «Попросишь там эскимосский каяк. А потом давай — заходи, давай быстренько заделаем штучку, крупный папочка!»

Его снова ожидало такси, на этот раз внутри, словно моторный поршень, бухал ямайский ритм. Трудно было определить, обычная это была тачка или еще одна «из сети» — вот так он и подумал: «из сети», — пока они не пересекли горбатый мостик над старинными шлюзами в сердце Джорджтауна, и здесь шофер сказал: «Вот тут самое трудное место для плавания вниз по каналу на эскимосском каяке, сэр. Надо не забывать о шлюзах».

На Лодочной станции Флетчера Фил столкнулся с неожиданной проблемой — ни один спасательный жилет и не думал сходиться на его груди. Инструктор, сам довольно дюжий мужчина, вывихивал себе мозги, пока вдруг решение не было найдено. Как и все великие открытия, оно было простым. «Иисус, Мария и Иосиф, — сказал инструктор, — почему бы нам не взять два жилета и не надеть их на ваши руки, сэр? Вот, извольте, сэр, все путем!»

Два оранжевых узла на плечах усилили сходство Фила с певцом Паваротти, исполняющим «Риголетто». «Пожалуйста, не пойте, сэр, — инструктор махнул рукой на прощанье, красные паучки на носу и щеках недвусмысленно говорили о приверженности их владельца к ирландскому темному пиву. — И, пожалуйста, не раскачивайте лодку. Вам надо просто скользить вниз по каналу обратно в Джорджтаун. Постарайтесь избежать столкновения с этой гребаной джорджтаунской баржой, набитой этими лаптями-туристами, о'кей? А как достигнете устья Рок-Крика и войдете в Потомак, поворачивайте направо. Там вы увидите, сэр, самое уродливое строение из когда-либо возведенных на Земле, комплекс „Вашингтонская гавань“. Постарайтесь преодолеть судороги отвращения, потому что вам там надо причалить. Потом вы высадитесь и все остальное увидите своими глазами. Ну, в путь! Бон вояж!»

Получив столь теплое напутствие, Филларион стартовал и мирно заскользил обратно к стильному Джорджтауну. Сегодня у него не было ни малейшего намерения петь. Скольжение вниз по водам канала, сходным с гороховым супом, настроило его на мысли о суффиксах, префиксах и других мелких частицах лингвистики.

Мы, безусловно, принижаем значение этих маленьких ублюдков. Идеологическая война, например, она ведь вся нашпигована этими суффиксами, префиксами, окончаниями. В истории были периоды, когда война идей практически превращалась в войну лингвистических частичек. Без сомнения, большевики не выиграли бы гражданской войны, если бы у них был иностранный суффикс «ист» вместо «ик», такого родного и домашнего.

Интересен и поучителен также процесс адаптации некоторых неслыханных жаргонизмов социалистической абракадабры. «Буржуа», такой необычный и странный, быстро трансформировался в «буржуя» и сразу стал обиходным словом по созвучию с самой популярной трехбуквенной непристойностью. Буржуй — гуй, буржуй ты гув!... Скользя по каналу и пережевывая свои частицы, профессор Фифановф не обращал ни малейшего внимания на встречных бегунов. Бегуны же без различия пола при виде невероятного гребца теряли ритм и слегка задыхались. Он также избежал столкновения с туристической баржой, даже не заметив ни ее, ни ее экипажа, молодых людей в жилетках XIX века и девушек в чепчиках, ни бурлаков-мулов, влекущих баржу по каналу. Он был весь в раздумье.

А давайте-ка заглянем в коварные семантические ловушки, товарищи! Если, скажем, у гадкого слова «антисоветчина» отобрать негативный префикс «анти», мы предположительно должны получить что-то хорошее. Однако уродство суффикса «чина» настолько очевидно, что оно придает оставшемуся слову еще большую гадость, и получается действительно мерзкая «советчина».

Милостивые боги Балтийского моря, этой колыбели абстрактного мышления! Конечно же, он даже и не заметил, как его каяк вошел в шлюз. Делая пометки на манжетах, он не видел, как двери шлюза закрылись и вода пошла вниз. В какой-то момент ему показалось, что сверху за ним пристально, хоть и с бессмысленной насмешкой на лицах, наблюдают три частицы

«кртчк», «мрдк» и «чвск», однако он отогнал от себя это дикое предположение, и вскоре его судно покинуло заплесневелый шлюз и вышло к последнему перегону старинной транспортной системы.

Только лишь увидев перед собой широкое искрящееся пространство воды, Филларион вынырнул из пандемонизма русского лингвистического разгона. Тут только он понял, что близок к своему назначению. В несколько мощных ударов весла он достиг пристани, причалил и вскарабкался наверх.

Великодушные боги Волги и Каспийского моря! Странное эклектическое строение распростерло перед ним свои огромные крылья. Трехногий маяк вырос из большого фонтана, а за ним стояли вогнутые стены с множеством балконов, террас, галерей, патио и внутренних авеню, с козырьками в стиле Прекрасной эпохи, с изгибами барокко по железобетону и модернистскими плоскостями отражающего стекла. Все вместе это создавало страшную чужеземную атмосферу, смесь венецианских площадей, предкатастрофного Санкт-Петербурга и романа Томаса Манна «Волшебная гора». Филларион влюбился с первого взгляда.

Со второго взгляда он увидел группу туристов, глазеющую на группу скульптур. Эти последние отличались высоким качеством и неслыханной приближенностью к реальным объектам. Туристы восклицали вне себя от счастливого изумления.

Эй, глянь, этот парень в кроссовках, ну точно наш сосед Джимми! Эй, а девчонка-то рядом, ну просто хоть на свиданку приглашай! А старый-то, старый, может пригласить его выпить? А что, ребята, может они все ж-таки живые?!

Две фигуры скульптурной группы изображали юных влюбленных. Мальчик развалился на скамье, головка на коленях у девочки. Она ласкает волосы гедониста со смешанным выражением материнских чувств и похотливости. На обоих — настоящие джинсы и клетчатые рубашки.

В полуметре от подошв юнца на скамейке располагался третий член группы, среднего возраста джентльмен в прямой, сдержанной позиции. В твидовой шляпе и зеленоватых очках «Рэй Бэн», с аккуратными пеговатыми усиками, скульптура выглядела, как отставной офицер разведки, своего рода полковник Черночернов. Ну, вот извольте теперь судить сами о качестве кагебешной подготовки: ни одна мышца, ни одно сухожилие не дрогнуло ни на лице, ни в теле нашего Шварци. Надо отдать должное инструкторам школы в поселке Растительное Масло: прекрасно обучили своих студентов использовать ахиллову жилу в качестве задвижки для всей системы.

Глубоко впечатленный, Фил Фофанофф стоял перед старшим товарищем по оружию. Лишь только тогда, когда рассеялись туристы, Черночернов проговорил голосом многострадального чревовещателя:

— Как ты мог так поступить со мной, Фил?

Угрызения совести потрясли тело профессора, как электрический разряд. Внезапный взрыв симпатий к этому, такому старомодному, такому располагающему к доверию носителю англосаксонского здравого смысла подхватил его. Конечно, я мог нечаянно схамить, задеть чувство собственного достоинства у этого простого человека, для которого применение простого экстрактора истины — уже серьезная моральная проблема.

— Как ты мог, Фил, открыть мое имя городской телефонной системе? — Полковник снял очки и посмотрел на Филлариона жалобным, поистине умоляющим взглядом: — Прошу прощения, дорогой Фил, но, как твой крестный отец, я должен тебя предупредить, что при повторении такого ляпа ты должен будешь... — он прочистил горло, — подвергнуться деактивации.

— Бедняжка, — вздохнул Филларион с высочайшим сочувствием и стряхнул немного перхоти со слегка траченного молью плеча полковника, — он все еще верит в такие вещи, как деактивация...

Они провели вместе весь день, обедали в вегетарианской секции ресторана «Пища славных» и даже изображали из себя любителей наблюдения за жизнью птиц на острове Теодора Рузвельта. Полковник делился с Филларионом своим грандиозным опытом на службе у Британской короны. Иной раз это звучало столь правдоподобно, что Фил волей-неволей вспоминал недавние откровения молодого аргентинца и думал, не является ли «Шварци», то есть Черночернушка, полноправным членом экстравагантного клуба вашингтонских перевертышей.

В свою очередь, Фофанофф поделился с непосредственным начальством своими первыми впечатлениями от деятельности в секретных сферах. Может показаться странным, но

полковник не выказал большого интереса к содержанию дневника Достоевского. В такой же степени не был он впечатлен утверждением Филлариона, что в дневнике нет ничего особенно вредного для престижа отца научного коммунизма.

— Сказать по правде, содержание нас особенно не интересует. Отметая всю демагогию, нас интересует не наш собственный интерес, а чей-нибудь еще интерес к нашему интересу, который как бы не существует, но существует в связи с потенциальным интересом других, вот в чем дело. Уже давно эти разгребанные записки нашего национального гения были под наблюдением многих школ в этом районе. Фактически они никому не нужны, по каждая школа озабочена озабоченностью другой школы. Существовало что-то вроде молчаливого согласия не делать первого шага в этом направлении. Ну, а теперь просто трудно представить, что получится, если другие узнают, что мы начали. Сорвутся с цепи! Надеюсь, что ты пока что не замечал никакого подозрительного внимания во время своих исследований, правда?

Филларион пожал плечами:

— Ничего особенно подозрительного, если не считать одной, пожалуй, слишком докучливой гусеницы.

— Докучливая гусеница?! — вскричал Черночернов. Он затрепетал, как охотничий пес в болотистой равнине, полной уток. — Ты сказал, всего лишь одна докучливая гусеница? Гусеница-наблюдатель? Шипящая и обжигающая гусеница? Проглотила весь принтаут записок Федора Михайловича? Прожевала и выжгла большую часть пиджака Орсона Уэллса? Нацеливалась на твою пупковую зону? — Он потирал руки, очи его пылали: — Мать Россия и святой Николай Второй! Произошло нечто исключительной важности! Силы, почти равные нашим, бросают нам вызов. Послушай, Фил, будь особенно осторожен сегодня. Не возвращаясь домой, не ешь, не пей, никого не трахай, особенно профессоршу Усрис! Ради орла двуглавого не пей на улицах! Что ты должен делать? Просто иди на площадь Лафайета, займи скамью напротив Белого дома и жди, жди, жди, пока не получишь моих дальнейших инструкций!

Сказав это, полковник Черночернов ринулся домой с такой скоростью, какой позавидовал бы рассыльный компании «Международный цветовод».

## Аэробика

Трудно сказать, была ли его скорость чрезмерной или недостаточной, но так или иначе, ворвавшись в свою квартиру, он обнаружил там генерал-шеф-повара Егорова и теоретика Марту... о нет, нет, не подумайте чего... совсем не полностью голых, но, пунктуально говоря, в подштанниках.

Как только он вошел в комнату, эта далеко не голая пара его соратников, пустилась в неуклюжий, но все же синхронный цикл подскоков и приседаний. Ритмические эти движения могли бы даже претендовать на некоторое приличие, если бы не две желтовато-зеленоватых молочных железы, которые явно вели себя, как два независимых и не вполне серьезных партнера. Из-за этого недостатка в координации вся сцена была исполнена духом какой-то дикости.

— Глянь, Дотти! — сказал генерал-шеф. — Марта тренирует меня в этой проклятой аэробике!

Марта пожалала плечами.

— Это вовсе не аэробика! Наши советские физические упражнения не имеют ничего общего с этой вздорной американской манией!

Генерал-шеф хихикнул.

— Ну-ну, товарищ! Ты что же, не уважаешь Джейн Фонду, величайшего борца за мир?

— Тщеславная баба предала наше дело! — взвизгнула Марта. — Ее аэробика отвлекла миллионы от классовой борьбы!

Черночернов даже не заметил, как оба товарища вдруг расположились возле круглого обеденного стола, полностью, по" кодексу, одетые, галстуки затянуты, пуговики застегнуты и даже государственные награды на соответствующих местах.

Марта привычно включила настольного жука, электронное устройство, которое начало ползать туда-сюда, чтобы заблокировать возможное подслушивание американскими органами. Затем она отправилась на кухню, чтобы поставить самовар: советские женщины отвергают соблазны американского мелкобуржуазного феминизма!

— Тревожные сигналы, Егор! — прошептал Черночернов. — Помнишь ту мерзкую «селедку» в международном аэропорту Далласа? Теперь гигантская гусеница появилась в библиотеке Тройного Эл.

— Елки-моталки! — сказал генерал, хотя и не похоже было, что удивился. — Ну, что ж, теперь жди еще что-нибудь в этом роде, третьего члена трио. Я говорю «третьего», потому что надясь получил сообщение о странном летающем объекте, условно названном «дрозд». Хоть все трое и выглядят по-разному, однако ж, сдается, что одной выпечки.

— Лэнгли? — скорее выдохнул, чем произнес полковник. — Второе бюро? Моссад? Удба? Косоглазые?

— Лучше уж все они, вместе взятые, чем то, что я подозреваю, — вздохнул генерал.

У полковника все конечности задергались.

— Не хочешь ли ты сказать, Егор-голуба, что проклятый это Зеро-Зет окончательно вышел из-под контроля?

— Вот именно это я и хотел сказать, гребать-их-всех-за-па-зуху, — сказал генерал.

Чекисты пожали друг другу локти и глубоко заглянули в глаза. В соответствии с заветами основателя тайного братства, монаха-расстриги польского происхождения, в трудные моменты истории они начинали «к товарищу милеть людскою лаской», а к врагу оборачиваться «железа тверже». Этот превосходный моральный кодекс все же иной раз затуманивался разными сложностями — как бы не пропустить тот момент, за которым друг превращается во врага.

— К сожалению, — продолжал генерал-шеф, — я не могу выключить эту штуку без соответствующих инструкций Хранилища. Я даже не могу и распознать ее. На все мои обращения Зеро-Зет отвечает с наглым вызовом, а Хранилище явно не торопится уничтожить своего блудного сукина сына. Значит, единственное, что нам остается, на тот случай, если гнусная штука зайдет слишком далеко, это действовать на свой страх и риск, а именно взорвать разгребанное Яйцо во время одного из их разгребанных сборищ.

Полковник Черночернов чуть не впал в столбняк. Яйцо, вместилище передовых идей, игровая площадка столь дивно очерченных индивидуумов! Подобно многим людям своей профессии, он был немного влюблен в объект исследования.

Генерал потрепал его по колену и предложил стакан водки, как будто это он был здесь хозяином, а не Черночернов.

— Спасибо, Егор-голуба, — промямлил полковник. — Водка это то, что мне сейчас нужно, чтобы переварить твою ошеломляющую идею.

Генерал прекрасно знал, где находится водка в этом доме. Он быстро выставил полгаллона «Смирновской», два стакана и круг польской колбасы на обрывке эмигрантской газеты «Новое Русское слово». Потом сказал товарищу по оружию:

— Надеюсь, Дотти, ты не видишь во мне старорежимного ублюдка-головореза. Я человек Перестройки, и я не прячу ни от кого, что Достоевский оказал на меня глубокое влияние. Не менее других, ни на йоту менее, я верю, что нельзя пожертвовать ни единой слезинкой маленькой девочки ради счастья человечества, но... ох уж эти подлые «но»... бывают в истории моменты, когда надо реально видеть неизбежность некоторых событий, иначе все слезинки испарятся совместно со всеми моральными дилеммами, в том числе и со «слезников маленькой девочки»! Давай выпьем, Федот-голуба!

Как обычно, слова генерала нашли тропу к сердцу полковника. Он поднял сосуд недогнувшей рукой. Егоров покосился на него.

— Я знаю, Дотти, ты любишь эту птичку, — он указал на Российского имперского двуглавого орла на этикетке «Смирновской», — и я уважаю твои непоколебимые убеждения, кореш, хоть я сам и ценю гораздо больше либеральное содержимое этой бутылки.

Они опрокинули упомянутое содержимое. Полный стакан залпом, дух Великой России жив и невредим!

— Ты еще не пришел к окончательному решению по Яйцу, Егор-голуба?

— Пока что нет, Федот-голуба. Позволь тебе напомнить, что мы все еще в процессе охоты за нашим национальным сокровищем, и, поскольку кто-то еще явно выказывает к нему свой интерес, мы должны постараться, чтобы не захапали его чужие равнодушные руки. Так что, пока не поздно, бери своего тяжеловеса и извлекай из Яйца все данные по ФД — КМ, все дискеты и оригинал также. Как только покончим с этой надуманной проблемой, у нас будут руки развязаны для более серьезного дела.

Они употребили еще два стакана. Либерализм рос.

— Тебе никогда не приходило в голову, Егор-голуба, что три чахлах латинских Эл, L если их соединить, вместе образуют наше могучее русское Ща?

Либеральный генерал-шеф-повар смутно улыбнулся.

— Я знаю, что у тебя на уме, паря. Авианосец «Кашей Бессмертный» уже на плаву. Позволь мне сказать тебе одну более-менее важную вещь. Меня давно уже тошнит От их разгребанного коммунизма...

Полковник испустил радостный визг. «И меня тоже!» — и гут же сморщился, как будто пронзенный историческим штыком Октябрьской латышской стражи. Неся величественно пыхтящий самовар, в комнату вступала хранительница марксистско-ленинских традиций. В коммунистической общине Вашингтона, дистрикт Колумбия, эта бесплодная женщина-пехотинец считалась воплощением высшей партийности. Циничные и насмешливые вьюноши из посольской волейбольной команды даже прозвали ее Абсолютом на манер старой Большухи Елены Стасовой, но потом, узнав, что Абсолютом также называется превосходная шведская водка, решили, что это слишком получается лестно для клячи.

— Подонки, — пробормотала Марта Арвидовна Черночернова (урожденная Нельше), — наше правительство считает вас рыцарями без страха и упрека, а вы грязните партию своим клянем монархической бузы из этих гигантских бутылок, болтаете грязный вздор о Кашее Бессмертном и коммунизме! Ты, Федот, что не мычит — не телится уже столько пятилеток, и ты, Егор, весь пропахший аджикой, этим отвратительным афродизьяком от тех кавказских взяточников и взятодателей, если бы вы только знали, как я вас обоих ненавижу!

Зловещее молчание воцарилось в комнате на несколько минут. Грудь Марты трепетала, ее лицо наливалось неудержимой яростью.

— Ленинское учение непобедимо, потому что оно верно! — прошептала она наконец и швырнула самовар, этот проклятый жупел великодержавного шовинизма, в своих двух мужчин.

## Момент Тысячелетия

Вскоре после завершения странного эпизода с кипящим самоваром спецагенту Джиму Доллархайду как раз случилось небрежно пройтись по Висконсин-авеню мимо советского квартирному блока. По стечению обстоятельств он заметил как раз двух друзей, посольского шеф-повара и советника по садовым культурам, выходящих из здания, лица их были красны, костюмы влажны. «Хотел бы я знать, кто из них этот неуловимый Пончик? Впрочем, так или иначе, оба парня, выглядят довольно симпатично, хоть малость и дымятся», — так подумал наш «йаппи», молодой городской профессионал. В руках у Джима в этот момент был пакет с некоторыми лакомыми кусочками, составными йаппиевской питательной системы, а именно: салат из латука и тунца, пара крупнопомолотых булочек, кувшинчик с ореховым тофу-желе и флакончик с порошком шпанской мухи. Естественно, он мечтал поделиться всеми этими прелестями с новым своим объектом обожания, Урсулой Урсис.

Джим вообще-то был на вершине блаженства. Позавчера вдруг фортуна, вопреки всем ожиданиям, ему улыбнулась. Глухой ночью вдруг звонок из Лас-Вегаса. Мамочка и дядя Роджер хохотали, как сумасшедшие. Неисправимые представители пятидесятых, они только что сорвали банк, гигантский выигрыш в казино отеля «Цезарь». Эй, киддо, скоро получишь наш сувенирчик! Сувенирчик оказался не чем иным, как новеньким красным «Порше-Тарга». А что вы хотите сказать этой машиной, Джим, — спросил старший агент д'Аваланш. Трио Эплуайт, Элле и Макфин повторило вопрос бровями, усами, бакенбардами и родинками. Красивое чудовище, вздохнул доктор Хоб. Джим понял, что его дни в составе Бюро сочтены.

Ну так что, думал он, подъезжая к тротуару возле Кондо дель Мондо. С такой машиной и с таким другом, как Урси, я смогу легко свернуть на другую, более творческую дорогу «нового мышления».

Вдруг он увидел на углу Урсулу, разговаривающую с юным эфиопским велосипедистом. Похоже, что она была очень взволнована и меньше всего готова к тому, чтобы обеспечивать спецагенту дорогу к Новому мышлению. Джим немедленно вытащил шариковую ручку и заткнул ее за левое ухо. Далее следует то, что ему удалось уловить при помощи этого нехитрого снаряда.

**Урсула.** Я тебе дам двадцатку... Кулдах, еще десятку за экстра-скорость... отправишься на Лафайет-сквер... кулдах-тара-рах... это чертовски срочно!

**Велосипедист.** Иес, мэээм!

**Урсула.** Увидишь там огромного человека... не меньше трех сотен фунтов... эдакого чудилу... вот записка для него... Понял?

**Велосипедист.** Ничего нет легче, мээээм!

**Урсула.** Его имя на конверте. Мистер Фофанофф.

Велосипедист вздрагивает, точнее сказать, дрожь пробирает его от макушки до скоростных подошв.

**Урсула.** В чем дело?

**Велосипедист.** У нашей семьи фамилия — Фофаноффи...

Урсула. Мне наплевать на ваши чертовы русско-эфиопские связи, понял? Единственное, что мне от тебя надо, это скорость доставки письма этому обормоту.

**Велосипедист.** Иес, мээм!

Теперь мы можем предложить читателям простенькую загадку: кто быстрее домчится от Джорджтауна до Лафайет-сквера — новенький с иглочки «Порше-Тарга» или подошвы потомка знаменитых с древних лет эфиопских посланцев?

Тэдди Фофаноффи, едва достигнув Лафайет-сквера, тут же увидел в юго-восточном его углу рядом с бронзовой фигурой генерала Костюшко не менее монументальную фигуру своего адресата. Профессионализм не позволил юнцу пуститься в генеалогические изыскания: он просто передал адресату послание и растворился в предвечерней голубизне. Таким образом, уникальная встреча двух родственных кланов не состоялась, и они отодвинулись друг от друга еще на одно тысячелетие.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### Вечер Ренессанса

Всякий знает площадь Лафайет-сквер как излюбленное место протестантов. Надеюсь, не будет бестактным сказать, что и бичам она нравится. Увы, иногда нелегко отличить одних от других. Политические лозунги не всегда помогают. Например, рядом с относительно безумным требованием вывода Соединенных Штатов Америки с территории острова Манхэттен можно увидеть относительно несусветное: «Руки прочь от моей матери, Даниэля Ортеги!» У входа в парк, прямо напротив Белого дома, лежит в спальном мешке примечательный человек, профессор астрономии доктор Астрос Звездакис. Он держит не ограниченную во времени голодовку в поддержку своих собственных требований. Ну что ж, в сравнении с другими требованиями Лафайет-сквера Звездакиевские выглядят вполне умеренными: «Немедленное и полное разоружение Соединенных Штатов!» Многолетние исследования колец Юпитера привели ученого к заключению, что мир, потрясенный внезапной беззащитностью Америки, немедленно последует ее примеру и разоружится до последнего автомата Калашникова, который и будет выставлен в музее, как реликт варварской эры оружия.

Некоторые международные друзья астронома находили эти требования нереалистическими и увещевали его прекратить свое мученичество, однако другие друзья, особенно из Советского Комитета защиты мира, находили требования вполне реалистическими, советовали продолжать и с завидной регулярностью выражали астроному свои симпатии и поддержку. Советник Черночернов, например, никогда не упускал возможности заткнуть на ходу мученику в слабеющий рот горсточку кубиков советского мясного бульона. Сказать по правде, он никогда не оглядывался, чтобы удостовериться, проглотил ли ученый его дотацию или нашел силы выплюнуть.

В своем, еще не залатанном пиджаке «Орсон Уэллс» и неизменном шапокляке профессор Филларион Фофанофф уж никак не выглядел белой вороной среди завсегдатаев Лафайет-сквера. Нечего и говорить, все обитатели этого места его приветствовали, и он отнесся к ним как к «цветам Творца», каждый цветок со своим неповторимым лицом, разнообразием тряпья и уникальностью вони.

Женщина с дюжиной косиц в седых волосах, одетая в эскимосскую парку и обутая в вечерние туфли на высоких каблуках, приблизилась к нему, толкая перед собой каталку из супермаркета, доверху и сверх нагруженную ее личными вещами. Она обратилась к нему по-матерински:

— Что читаешь, киска?

Он поклонился в превосходном староарбатском стиле и показал ей обложку своего постоянного спутника, «Декамерона».

— Это Ренессанс, мадам. Должен признаться, что я всегда был основательно избалован инспирациями Ренессанса, мадам.

— Это ничего, — сказала Матушка Обескураж. — Больше читай, сынок, и люби книгу. Книги — источник знаний!

Она уселась на соседнюю скамью и вынула из своей тележки бумажный пакет с остатками изысканной еды, выданный ей в гриле аристократической гостиницы «Хэй Адаме». Затем она также вытащила банджо и стала попеременно использовать его то как обеденный стол, то как ритмический инструмент. Питание и пение, деликатное чавканье и мягкое нежное дребезжание голосовых связок задали тон всему этому позднему полудню на Лафайет-сквере.

Ренессансный вечер, думал Филларион, наблюдая гирлянду розовых облачков над крышей Старой Конторы, где сидят все советники Президента. Вот вам послание из-за тысяч миль, из-за сотен лет.

Вскоре мы увидим, как неправильно интерпретировал он комбинацию полутонов и полузвучков этого вечера, и как мало нам следует доверять воображению тяжеловесных гуманитариев в их постоянных попытках убежать от реальности.

Тем временем два бомжа, Тэд и Чарльз, с их лицами, соответственно отражающими образы классической литературы и позитивно-радикальной социологии, подошли к матушке Обескураж и попросили у нее «есть и пить», то есть чего-нибудь пожевать.

Прекрасная дама немедленно разложила свои изыски перед скамьей. Удовлетворив себя гастрономически, Тэд и Чарльз адресовали к благодетельнице следующий вполне натуральный вопрос:

— Ну что, Полли, решила ты наконец, кого больше любишь? Она прервала свое пение и залилась своим слегка похотливым смешком:

— Извините уж, мальчишки, но вы оба получили свою долю, а тут есть и неутоленно жаждущие...

Она хитровато глянула в восточном направлении, туда, где в тени генерала Костюшко стоял в романтической позе владелец бакалейной лавки господин Пу Соннн. Страстный дискант, исполняющий древнюю корейскую песню «Похороны белого тигра», возносился в деловые небеса Средней Атлантики, словно высокочувствительная биологическая спираль.

Бомжи застонали и заныли.

— Мы так петь не можем, Полли, но мы любим твои пальцы, любим, как ты расчесываешь свои волосы...

— Благодарю за великолепнейший квартет, — вмешался тут Филларион. — Как Боккаччо писал: «Любовь, дай мне восторгаться во имя Твое, дай мне от счастья сгореть в пламени Твоем...»

Он уже готов был открыть и свой собственный рот, чтобы снова воспеть свою собственную влюбленность, когда неизвестно откуда выпрыгнул вдруг советник Черночернов, беспокойный, возбужденный, дымящийся, истинный представитель «обоженного поколения». Он сжал кисть Филлариона и лихорадочно прошептал:

— Следуй за мной!

— О да, — вздохнул профессор. — Увы, Джованни был прав, говоря: «Тот, кто бесконечен, распорядился своим непреложным законом, что все земное должно завершаться концом...»

Ренессансный вечер закончился, современная ночь вступала в свои права.

Даже и в этот решающий момент нашего романа полковник, проходя мимо еле дышащего тела Астроса Звездакиса, не преминул втолкнуть несколько кубиков советского мясного бульона в увядающий рот идеалиста. За этой гуманитарной акцией последовал испепеляющий шепот прямо в ухо Филлариона: «Не оборачивайся!»

## Ночное Головокружение

Никому на свете не удалось бы выбрать менее подходящий момент для проникновения внутрь Яйца. Как только они приблизились к сфероиду, его главная апертура зазияла, и из нее в неоновом сиянии вышла кряжистая фигура шефа охраны Каспара Свингчэара.

— Привет, Касп, — промямлил Фил в замешательстве, — я тут привел британского коллегу, чтобы обсудить некоторые проблемы суффиксов.

— Валяйте, ребята, подрочите свои суффиксы, — сказал вдруг Каспар без своей обычной подозрительности и снисходительной мимики.

Он и сам выглядел несколько сконфуженно, однако «коллеги» этого не заметили, они были полностью погружены в свои собственные устремления.

Засим, леди и джентльмены, не откажите в любезности проверить свои часы. Итак, сейчас без двадцати пять, не так ли? Каблучки Урсулы Урсис щелкают вверх по ступеням гранитной лестницы Национальной художественной галереи, расположенной фактически через бульвар от Яйца. В этот как раз момент будет вполне уместным предать гласности записку, доставленную отпрыском мифических бегунов Веби-Шебели отпрыску шаменитых арбатских обжор и трепачей.

«Пробосцис, без четверти пять будьте в зале Рембрандта Национальной художественной галереи, обратите внимание на „Даму с веером из страусовых перьев“. Не двигайтесь, пока к нам не обратятся. Ничего нет важнее этого. Ставки очень высоки. Жем. Лаг».

Она вошла в зал и огляделась. Если бы он знал хотя бы частичку того, что я знаю! Зал был пуст и навевал покой развешанными по стенам шедеврами фламандского гедониста: «Молодой человек в цилиндре», «Девушка со щеткой», «Старая дама, дремлющая над книгой», «Польский дворянин», «Дама с веером из страусовых перьев...» Как и следовало ожидать, его здесь не было, что за возмутительная личность! Мусоля в уме какой угодно вздор, он наверняка просто забыл о свидании, от которого так много зависит!

Первый оглушающий звонок прошел по всем залам и переходам национального святилища — пятнадцать минут до закрытия. Филларион вошел в Рембрандтовский зал в сопровождении... О, боги Полинезии!, в сопровождении Дамы с Веером из Страусовых Перьев. «Фил! — выкрикнула Урсула. — Не дотрагивайся до нее! Не давай ей до тебя дотрагиваться!»

Дама с Веером зловеще хихикнула и отскочила по направлению к «своей», так сказать, картине. Филларион протянул к Урсуле свои гигантские руки. «Урси, оглянись!» — его голос был как-то странно приглушен. Обнаружив себя в его нежных объятиях — что за отвратительная, старомодная, романтическая сцена! — она оглянулась и увидела всех персонажей знаменитых картин во плоти.

Болтая по-светски, то есть неразборчиво, Польский дворянин, Девушка со щеткой, Молодой человек в цилиндре и Старая дама, что обычно дремала над книгой, а теперь гримасничала над этой книгой, приближались к парочке. Ничего особенно угрожающего не было в этой скромной группе призраков, и тем не менее Урсула прошептала: «Нам конец, любимый мой!»

В следующий момент Филларион Ф. Фофанов прыгнул к стене, как будто упругий, хорошо тренированный доберман-пинчер был заключен в массу его громоздкого тела — Дама с Веером испустила страннейший визг, — рванул на себя картину в ее бесценной раме. Немедленно после этого в галерее включились все сигналы тревоги, на мраморных полах воцарился хаос. Охваченные паникой посетители бросились врассыпную. Взводы музейной охраны сталкивались друг с другом и распадались в замешательстве. Вопли сотен сирен могли бы создать блестящую возможность для кражи не только «Дамы с веером», но, по крайней мере, дюжины не менее ценных объектов, если бы они не вызывали видения Армагеддона в умах потенциального жулья.

Теперь уже Урсула, как будто пришла ее очередь действовать, вылетела в середину зала, выпустила густой многоцветный дым из своих серег и сумочки, визжа и стона, словно ирландский дух смерти. Мгновенно все призраки или полопались, как пузыри, или ускакали с грохотом в своих заказных башмаках. В любом случае, они исчезли в густом дыму.

...Урсула пришла в себя через десять минут в незнакомой машине, где пахло дорогой кожей. Ее голова лежала на мягких, черт побери, слишком мягких, коленях Филлариона. «Неужели ты действительно сказала ему „мой любимый“?» — произнес странно приглушенный голос. Мягкость колен раздражала ее. Она протянула руку, стараясь обнаружить что-нибудь потверже. Вместо искомого ее пальцы наткнулись на маленькую резиновую затычку на внутренней поверхности желеобразного бедра. «Где он?» — спросила она строго. «Он здесь, — сказал приглушенный голос. — Немного выше и чуть глубже. Не угодно ли?» Урсула схватила затычку. «Где Филларион Фофанов, так же известный, как Пробосцис или Хобот?!» Она вытащила затычку... мощный свистящий выдох, сопровождаемый гнусными всплесками и всхлипами... через несколько секунд огромное тело опало... поистине отталкивающее зрелище... месиво влажных морщин, под которыми не без труда различались стройные формы спецагента Джеймса Доллархайда. В пупок ему уперся индонезийский непоколебимый клинок: «Где он?!»

Тем временем генерал Егоров, совсем в недурственном виде, во всяком случае обошлось без ожогов, оставил поле самоварной битвы и отправился по делам в город: надо было прокрутить парочку немаловажных дел. Сначала он взял такси до отеля «Вашингтон Хилтон», впечатляющего здания на Коннектикут-авеню, где возле служебного подъезда произошло одно из двух важнейших событий 1981 года: фальшивый Ромео стрелял в главу дома Капулетти. Генерал не мог вспомнить то мрачное утро без судорог в левой икроножной мышце: либеральная суть его натуры категорически не одобряла подобных дикарских действий.

Пройдя в величественный туалет отеля, Егоров скрылся в третьей кабинке слева и вновь появился из второй кабинки справа. На нем была его излюбленная маскировка, облик отставного почтенного негра, то ли бывшего метрдотеля, то ли управляющего супермаркетом. Эта роль казалась ему воплощением здравого смысла и социальной гармонии.

Он вышел из отеля и проследовал к Треугольнику Калорама, где, на перекрестке с семью углами, перед магазином 7 — 11, ждал его среднего калибра пудель, привязанный к фонарному столбу. Не без теплого чувства генерал подумал о своем шофере Петрухе: на этого парня можно положиться, хороший солдат, хотя и стоит проверить еще раз его китайские знакомства. Завершив маскарад при помощи дружелюбного зверя, Егоров медленно двинулся вниз по Вайоминг-авеню.

Ну можно ли вообразить себе более мирную картину — пожилой отставной дворецкий, прогуливающий среднего размера пуделя в квартале «среднего класса»? Кто может подумать, что этот человек является великим мастером шпионажа, и что истинная цель его прогулки — сбор угрожающей информации, суть которой может перевернуть вверх ногами этот город и даже поставить под угрозу всю человеческую цивилизацию?

«...Пропал кот... ухоженный, интеллигентный...», «...убежала ручная ласка...», «...прошу помощи, мой единственный собеседник, какаду Джордж, растворился в воздухе...», «Мистер Уилли Тёкер, датский дог, исключительно гордый и немного капризный (ест теннисные мячи), покинул дом после ссоры...»

Невинный зевака вряд ли нашел бы в этих посланиях что-либо большее, чем отчаянные попытки спасения тех малых душ, человеческих любимцев, о которых так проникновенно писал философ Николай Бердяев. Что же касается генерала Егорова, он расшифровывал их медленно, как неукоснительный вызов, полное отвержение субординации и недвусмысленную угрозу. Сняв четыре листка посланий с древесных стволов, генерал прикинул свою шифровку к симпатичному каштану. Она гласила: «Найден чистопородный мопс, неуправляемый и дикий. Если в течение двух дней не будет взят хозяином (подтверждений не требуется), подлежит отправке на остров Калимантан для специальной тренировки».

Это было не чем иным, как последним предупреждением неуловимому Зеро-Зет. Отныне все переговоры посредством собачьих объявлений и пятен на ветровых стеклах машины прекращаются. Если требования генерала не будут приняты, война не на жизнь, а на смерть развернется по всему фронту.

Несмотря на напряжение, вызванное приближающейся битвой с таинственным Зеро-Зет, генерал с облегчением выдохнул скопившиеся пары аджики: по крайней мере, на сегодняшний вечер он восстановил чувство непреложности и определенности, которое обычно выражалось его любимой формулой: «Порядок в танковых войсках!» Теперь осталось только одно вполне заурядное и скучное дело: пробуждение крота после сорока лет невозмутимой спячки.

Егоров не знал, кем был этот «спящий крот», и это его не очень-то беспокоило. Он знал только место встречи и пароль. Некий индивидуум подойдет к нему (не исключено, что и на кресле-каталке подъедет) возле скульптуры динозавра, перед музеем естественной истории, и произнесет фразу: «Говорят, Сибирский экспресс направляется к нашим берегам». Вслед за этим сукин сын (а может быть, и дочь) будет «реактивирован» еще на сорок лет спячки. Никакого смысла не видел генерал в этом паршивом деле реактивации. Елки-гребалки, после целой жизни в полном забвении эти «кроты» фактически превращаются в бесполезный мусор. Ему уже приходилось несколько раз реактивировать, и все без малейшей пользы. Как правило, «кроты» начинают ныть и умоляют оставить их в покое, а то и угрожают наступать в

ФБР. А что они могут сделать для школы? Завербованные давным-давно, за мизерную сумму чистогиана, или пойманные на так называемой аморалке, которая, по нынешним-то стандартам, не помешает даже кандидатам в президенты, эти люди сделали свои жалкие карьеры как банковские кассиры, или бакалейщики, или, в лучшем случае, сторожа в Музее восковых фигур. Ни один из них на самом деле не оправдал ожиданий школы. В течение всех своих жизней они влачили смутные воспоминания о какой-то допотопной вербовке, подавленное чувство вины сродни скрытой венерической болезни — и уж, конечно, никаких обязательств перед школой.

Будучи исключительно преданным профессии офицером, генерал Егоров был весьма критически настроен по отношению к своему руководству в Хранилище. Уж он-то точно знал, что так называемые реактивации — это не что иное, как бюрократическая игра, просто вопрос расстановки новых галочек и перестановки покрытых пылью папок; потому-то он и отправился сейчас на свидание возле динозавра, которого часто туристы принимали за самку буйвола, даже без профессионального любопытства.

Гош! Как раз в тот момент, когда он уселся на скамье, впечатляющая грушевидная фигура появилась в поле зрения; связки ключей, наручники, уоки-токи, пистолет и дубинка побрякивали на широких бедрах, мрачное выражение, как занавес провинциального театра, висело на лице — шеф охраны Каспар Свингчээр собственной персоной.

Несмотря на то, что генерал Егоров испытывал некоторое чувство родства с этим человеком своего поколения, он категорически не одобрял его манер грубияна и хама. Единственный раз — видит Бог! — школа попыталась взять его на крючок и была отвергнута с возмутительной, просто гомерической яростью и даже с поползновением к физическому оскорблению посланца школы, дамы, приятной во всех отношениях. «Надеюсь, он не сорвет моего рандеву, — подумал Егоров. — Давай, Касп, вали мимо, занимайся своим разгребанным дедом». Шеф охраны Тройного Эл остановился, облокотился на круглый бок динозавра, закурил дешевую сигару, посмотрел на часы и хрипло произнес, не обращая ни к черному джентльмену на скамье, ни к предмету, на который опирался; иначе говоря, обращаясь к просто и быстро приближающейся ночи, к Ночи головокружения: «Говорят, Сибирский экспресс направляется к нашим берегам...» Тем временем два новообетенных товарища по оружию, Фил и Дотти, сидели в одном из кабинетов библиотеки, во внутренней сфере Яйца, то есть в самом Желтке. Никто не заметил их, когда они шли через лабиринт современного интерьера, однако как только они уселись перед компьютером, в комнату заглянула жрица храма Филиситата Хиерарчикос и осведомилась, не нужна ли джентльменам какая-нибудь помощь. Довольно холодно отворачиваясь от ненадежного Пробосциса, очаровательная дама делала глазки новичку; такой мужланище, экий дивный балканский тип! С восторгом она убедилась, что не ошиблась в догадке: мужчина представился как хорватский коллега, который приехал, чтобы подработать свою фундаментальную теорию славянских суффиксов и префиксов. Они смотрели друг на друга, красноречиво улыбаясь. «Остаться ли мне с ним или уйти, заинтриговав?» — думала Филиситата. «Каким образом от нее лучше избавиться, — думал полковник. — Может быть, применить к ней Растительное Масло или просто по-быстрому пистончик сбросить?»

— Весьма сожалею, — вздохнула она. — Я должна идти... ах, какое совпадение... у меня сегодня свидание в сербском ресторане «Шибица», но завтра, профессор, я буду счастлива возобновить наше знакомство самым вдохновляющим образом.

Затем она покинула кабинет, не подозревая о потерянных возможностях. Полковник же подумал не без горечи: «видела меня, по меньшей мере, сто раз на разных приемах и совершенно не узнала. Ну и людишки, ничего не могут ни вспомнить, ни распознать, если только профессионал применяет легчайшую, дурацкую маскировку».

Филларион включил «Макинтош» и углубился в бездонные, компьютеризированные анналы библиотеки Тройного Эл. Полковник косился на него с усмешкой. «Какое похвальное усердие! Впервые вижу, чтобы вновь посвященный коллега работал с таким энтузиазмом!»

— Дотти, — прошептал Фил. — То, что мы сейчас делаем, это что, действительно имеет отношение к международному шпионажу?

— Иес, сэр, — сухо ответил полковник. — Вряд ли можно найти лучшее определение этой работы.

— Как интересно, — сказал Фофанофф. — Предвещаю эту ночь, ночь международного шпионажа, головокружения, Ночь вертижжио...

— Вертижжио? Что ты имеешь в виду? Ночь вертижжио?

— Взгляните на экран, — по какой-то неясной ему самому причине Фил старался приглушить свой голос. — Мне не удастся выйти ни на досье, ни даже на главное меню... Минутку... ТО, что я вижу там, сэр, кружит мне голову... Простите, но все мои пять конечностей немеют от ужаса...

Следующий момент, с его свирепой неотвратимостью, швырнул обоих на грань полного ступора. Однако перед тем, как погрузиться глубже в Ночь вертижжио, мы должны, пожалуй, сделать один значительный объезд, чтобы вернуть на страницы группу весьма милых персонажей, совершенно незаслуженно забытых на столь долгое время.

Ну, конечно же, повествование о знаменитом Вашингтонском институте уже достаточно созрело, чтобы можно было себе позволить лирическое отступление в жизнь его президента достопочтенного Генри Трастайма. Позвольте мне напомнить вам, благородный и терпеливый читатель, что мы оставили профессора Трастайма пару месяцев, то есть сотню страниц, назад в самом разгаре его ошеломляющего побега из академической общины на Надветренные острова. Что же случилось с ним с тех пор? Вернулся ли он к своей семье, на мощеную кирпичом Думбартон-стрит в сердце тенистого Джорджтауна? Возобновил ли он свое, всегда плодотворное руководство исследованиями и мыслительным процессом Тройного Эл? Или уехал он в свой родной Массачусетс, чтобы уточнить расписание избирательной кампании?

Ничего подобного не случилось. Вместо всей этой поистине похвальной общественной деятельности Генри снял квартирку с одной спальней на углу улиц Сесили и Грэйс, над желеобразными водами старинного канала, чтобы жить там с девушкой своей мечты, Ленкой Щевич, и, следуя советам своего друга, пустился в эксперименты с левитацией, то есть с определением силы земного притяжения.

Его отсутствие уже начинало беспокоить соклубников из престижного «Космоса», однако госпожа профессорша, Джоселин, не выказывала никаких признаков тревоги во время своих регулярных велосипедных прогулок под эскортом стопроцентного, утонченного мистера Ясноатаманского (надеюсь, что вы еще помните чикагский прачечный автомат «Оптимистическая трагедия»). «Да куда же, черт возьми, запропал Генри? — обычно спрашивали соседи по Думбартон-стрит, которых можно было бы вполне считать тоже членами одного клуба или даже спортивной команды. — Он в порядке, или как?»

Джоселин обычно отмахивалась от вопросов и улыбалась своей неповторимой, как бы увядающей улыбкой. «Ну, что вы так выпытываете, ребята? С Генри все в порядке. Любой путник должен пересечь изрезанное плато в ходе своей жизни». Она отмахивалась немного более энергично, когда ближайшая соседка Молли Кволифакс интересовалась, не завела ли она себе любовника в лице своего постоянного спутника по велосипедным прогулкам. «Пшоу, Молли! Где твое чувство сострадания? Мистер Ясноатаманский проходит в данный момент через суровый кризис общественного статуса. Ведь он же был знаменитым драматургом московского театра, он написал нашумевшую пьесу „Ленинский Треугольник“...» Между тем пытливые соседи, прогуливаясь мимо витрин на улице Эм, то есть Матримониал-стрит, легко могли натолкнуться (и иногда наталкивались) на долговязого джентльмена неопределенного возраста, с кустистыми рыжими усами и пышными пегими бровями. Никто не узнавал в этом лохматом господине Генри Трастайма, и не только из-за его простенькой маскировки или недостатка собственной наблюдательности, свойственной, вообще-то, современному человечеству, но в основном оттого, что внимание каждого мгновенно отвлекалось от него к его компаньонке.

Ну и дева! Она была, мягко говоря, не слишком молода и не ахти как цветуща. О, да, цвет ее лица отражал следы то ли дурного питания, то ли распутства. Движения ее угловатого тела с жеманной неуклюжестью в целом выдавали низкое воспитание, но... — елки! — что за истома сквозила во всех этих движениях, кого могла не покорить эта полнейшая беззащитность, сочащаяся из каждой клетки худенького создания, эта, давайте говорить прямо, вечная готовность к самоотдаче? И она самоотдавалась своему другу снова и снова, они буквально грызли друг друга все ночи напролет и добрую часть дневного времени. «О небеса! — думал достопочтенный Генри Трастайм, — что я делал без нее последние двадцать лет? Ну, конечно, я любил Джоселин, милую маму моих милых детей, но — о небеса! — что я делал последние двадцать лет без этой великодушной шлюхи?» Ближайший к нему член его клуба тем временем не задавал никаких вопросов о прошлом, полностью поглощенный своей ролью в этом эротическом урагане.

Как-то ночью, входя в девятый виток своей обычной спирали, они почувствовали, что потеряли чувство земного притяжения. Скрещенье рук, скрещенье ног, судеб скрещенье, невесомость, момент истины, момент признаний.

— Друг мой, — шепнула мисс Щевич, — я польский агент.

Откровение не приостановило славного воспарения. Напротив, оно добавило еще один виток, который поднял их поиск гармонии прямо к потолку. Крики экстаза привлекли внимание команды южных репортеров, которая наугад прочесывала столицу в поисках сенсации. Они остановили под окнами свой микроавтобус и погрузились в терпеливое тупое наблюдение. Падая с потолка, пара, к счастью, не промазала мимо постели. Сладкое изнеможение, пальчики, пальчики, щипок за щипком, перестройка чувств... «Ах, лапуля, ну как ты мог предположить, что я работаю на эту противную хунту Ярузельского? Ну, разумеется, я тайный агент — Солидарности...»

— Как чудно! — Трастайм, который всегда гордился тем, что никому никогда не удавалось склонить его к сотрудничеству с какими-либо неприличными службами, сиял: его девочка, его «па-лома», как он ее иной раз называл, работает на благородную инфраструктуру, а не на подлую суперструктуру! Не без очаровательной живости и с огоньком в глазах она признавалась в содеянном.

Однажды ночью в Чикаго Ленка и Ясноатаманский стали верными сторонниками дела Солидарности, а именно ее подпольной издательской деятельности. Ты можешь себе представить, Сакси, — о эта неповторимая выразительность подсобной труппы МХАТа! — этим храбрым людям самим приходилось делать себе бумагу — я имею в виду бумагу как субстанцию — самим! Они варили бумажную пульпу из всего, что было у них под рукой — учебники ли партпросвещения, чучела с частных ли огородов, предметы ли интимного использования — выброшенные трусики, порванные чулочки, сильно поврежденные лифчики, заклинившиеся «молнии» и тому подобное, все, что можно использовать. Мы оба, Ясноатаманский и я, преисполнились сострадания к этим печатникам, мы не могли не откликнуться на страстный призыв их представителя стать членами их секретного подразделения...

— А нельзя ли поподробней об этом страстном посланнике? — спросил Генри подозрительно.

Она не могла чуточку не покраснеть.

— О, фактически он был типичным пророком пассивного сопротивления! — Генри задрожал от ревности. Она опустила ресницы — что за юная грешница, что за лживое раскаяние...

— Ну и что, он обладал силой убеждения?

По лицу ее скользнуло выражение благочестивого уважения:

— О да, огромная сила убеждения!

Нет сильнее афродизьяка, чем приступ ревности. Мгновенно, или по-французски тут де суит, запущено было еще одно спиральное вознесение, вошедшее, разумеется, в славные анналы улиц Сесили и Грэйс.

— Слушайте, ребята, — сказал один южный журналист своим коллегам, — а не напоминает ли вам мужской голос сенатора Гэри Харта?

Еще раз опустившись с потолка на кровать, пара пустилась в следующий тур исповедей: теперь была очередь Генри. Ленка пришла в полный восторг от истории его вербовки на мирных берегах Женевского озера.

— Швейцария — это ядро западной цивилизации, моя морковка! Как это чудесно — быть агентами двух благороднейших служб в мире! Теперь мне легче попросить тебя о срочной помощи.

— Что за срочная помощь?

— О, ничего не может быть легче, мой сладкий бананчик! Профсоюзники Быдгощского месткома недавно обнаружили, что Либеральная лига Линкольна обладает дневником Достоевского, в котором содержатся уничтожающие замечания по поводу марксизма. Они запаслись бумагой, чтобы опубликовать это как можно быстрее, чтобы им не воспользовались и не извратили бы сути все эти Ярузельские, Чаушески, Наджибуллы, Ким Ир Сены, ну, в общем вся эта компания... Иными словами, ради нашей юной и еще нерешительной Перестройки...

— Однако, как же они, Бога ради, узнали, что у тебя есть доступ ко мне, вернее, у меня есть доступ к тебе, кремовая моя карамелька?

— Я все тебе расскажу, мой папа-баклажанчик. Наша система коммуникаций, конечно, не на уровне мировых стандартов, но все-таки довольно надежна. Коротко говоря, мы используем почтовых голубей...

— Ага, значит, та эротическая птичка на нашем подоконнике прошлой ночью была не продуктом моего воображения, а скорее идеологическим диверсантом, не так ли? О'кей, моя цветущая агава, давай отправимся в Яйцо и возьмем текст, который ты так скромненько жаждешь. В соответствии с нашей общей концепцией гуманитарного либерализма мы не засекречиваем никаких наших текстов, так что ничего не может быть проще!

О да, это была ночь головокружений, которая вполне заслуженно захватила внимание читателей южных газет на следующее утро. В тот самый момент, когда пара любовников, не вполне безукоризненно одетых (скажем лишь, что он завернул свои костлявые плечи в ее шаль, а она облачилась в его смокинг и в желтые резиновые сапоги на босу ногу), появилась на углу Сесили и Грэйс, репортеры бросились к ним, жадно щелкая камерами и крича: «Мистер Трастайм, сэр, считаете ли вы, что выбранные члены правительства имеют право на свою порцию сладкой жизни?!»

Генри, хоть и завернутый в цыганскую шаль, являл собой воплощенное достоинство. «Я не уронил ни своих личных моральных стандартов, ни основных ценностей Западной цивилизации, джентльмены!»

Полная луна. Группа голубей попеременно с ястребами и взывают над вашингтонским Левобережьем. Парочка цапель с изяществом украшает перила моста Кей. «Водитель, быстро к Яйцу!» «Иес, сэр!» Сквозь гусарские усы таксист насвистывал польскую песенку «Пестрые кибитки».

## Вакханалия Монстров Среднего Размера

Шепот полковника был направлен прямо в мохнатое ухо профессора:

— Мы выполним свое задание в три этапа. Во-первых, сделаем копию всего дневника, страницу за страницей. Во-вторых, сотрем это досье, то есть изымем его из памяти компьютера, чтобы единственная копия в мире осталась за нами. В-третьих, экспроприруем оригинал нашего национального сокровища из чужой библиотеки или... ну, ладно?... остальное не в вашей компетенции...

Он ободряюще похлопал Фила по плечу, напоминаящему скат кита:

— В случае успеха вам присвоят звание Героя Советского Союза. Понял?

В ответ послышалось дикое высоковольтное чириканье, как бы издевательски повторяющее довольно торжественные инструкции полковника: «Зада-зада-зада... ицей-ицей-ицей... про-прии-проприи-проприи... птени-птени-птени...» Что за абракадабра?!

— Что за детская безответственность, Филларийон, да еще в ходе такой деликатной операции? Чего это ты вздумал чирикать как фантом?

— Это и есть фантом, — еле слышно проговорил профессор Фофановф. — Посмотрите на экран, Дотти!

Из обычного макинтошного монитора необычное существо (или устройство?) взирало на них с бессмысленной насмешкой. Это была своего рода птица сродни дрозду, однако с осьминогими конечностями, стрекозиными крыльями и акульим отверстием вместо клюва.

С первого взгляда было понятно, что это дьявольски сложная структура и что она — в этом-то и была наивысшая угроза! — с дьявольской скоростью калькулирует все входящие и исходящие данные для определения лучшего способа нанести сокрушающий удар.

Здесь мы снова должны отдать должное черночерновской альма матер в поселке Растительное Масло: студенты этой школы были великолепно подготовлены к любому неожиданному извиву капиталистической действительности. Со скоростью суперпроводника Дотти подсчитал все средства обороны, которыми обладал в данный момент — а у него, разумеется, было их немало — и потом, на вершине вычислительного процесса, выбрал лучшее из всех возможных — упал на пол! Филларийон, хоть и новичок в этом деле, почти мгновенно последовал его примеру. В следующее мгновение непостижимый «дрозд», испуская серию ошеломляющих вспышек, вылетел из монитора. Верхние части двух стульев были мгновенно испепелены. Проницательный читатель может легко предположить, что подобная участь постигла бы и верхние части наших героев, если бы они хоть немного замешкались. К счастью для нашего романа, который в любом случае должен быть грациозно завершен, Шварценеггер и Пробосцис благополучно выползли из комнаты, тогда как исчадие электроники (или метафизики?), это дроздовидное, среднего размера чудовище остановилось в воздухе, скрежеща чем-то от разочарования. Естественно, ни полковник, ни профессор ие

могли видеть, что монстр уронил нечто, похожее на крохотный флакончик. Это могло, конечно, быть просто побочным продуктом чудовищного огорчения, хотя, с другой стороны, вполне могло содержать и отравляющую субстанцию. Нельзя, впрочем, исключить и комбинации обеих версий. В любом случае, человеческий гений вновь превзошел дикую двусмысленность электроники и обстоятельств.

Избежав этой фатальной конфронтации, советник Черночернов и наш буревестник Перестройки теперь катились вниз по лестницам в сторону обширной внутренней сферы Яйца. То здесь, то там сквозь разные апертуры открывались некоторые много-значительные комбинации звезд и планет, иногда полная луна мигала в шахтах, будто вспышка космического фотографа. Вдруг, непонятно почему, заработали все эскалаторы, лифты и пружинистые трамплины в здании. Помещения, еще пять минут назад преисполненные усыпляющего спокойствия, вдруг огласились множественным эхом. Неузнаваемые голоса реверберировали, отражаясь от капризно изогнутых модернистских поверхностей. В какой-то момент перед Филларионом промелькнул его молодой друг Джим Доллархайд, в стиле Джеймса Бонда держащий пистолет обеими руками. Потом чешуйчатый продолговатый объект (или субъект), освещенный трубочными лампами, прошел через внутреннюю сферу и исчез. Момент спустя Филларион увидел старого Каспара Свингчэара в его обычной позе с уоки-токи у рта, но вниз головой (или это сам Филларион катился вопреки законам притяжения вдоль потолка?), а сразу после этого или одновременно из-за какого-то поворота, словно с американских гор, скатился почтенный пожилой негр со странно русским — «Мама, роди меня назад!» — выражением на лице... а потом... боги!... любовь моя незавершенная, длинноногая Урсула Усрис пролетела и вылетела, завихряясь будто в неудержимом реактивном потоке... а потом этот таинственный японский коллега возник, повизгивая и пытаясь увильнуть от мощных охотничьих прыжков многоцветной гусеницы, а затем... Однако простите, где же в эти моменты был филларионовский товарищ по оружию, доблестный рыцарь российского трона и несгибаемый борец за социализм? Ну, что ж, извольте насладиться зрелищем — полковник, лежа на спине, вращался вокруг своей оси, словно молодой чемпион на соревнованиях по танцам брэйк. Затем внезапно все остановилось, роман обрел чувство равновесия и все наши персонажи оказались стоящими вокруг овального стола. Не без удивления они смотрели друг на друга — президент Трастайм в цыганской шали, его подружка мисс Щевич в президентском смокинге, спецгент Джеймс Доллархайд в костюме-тройке, располосованном на пять частей, доктор Татуйя Хуссако, вернувшийся от борьбы за жизнь к состоянию своего перманентного хихиканья, невозмутимая академическая красотка Урсула Усрис в ее излюбленной позиции фехтовальщицы, проверяющей кончик невидимой шпаги, молодой космополит Карлос Пэтси Хаммарбургеро, полирующий свои ноготки и беззаботно насвистывающий «Подмосковные вечера», облаченные в вельвет социофилософ Ипполит Абажур и его левобережная супруга, предположительно женского пола; наш гигантский посланец доброй воли Фил Фофанофф, который выглядел бы точь-в-точь как Пьер Безухов после Бородинской битвы, если бы не оранжевый спасательный жилет с лодочной станции Флетчера, все еще притороченный к его левому плечу; присутствовали также советник Черночернов, чьей первой реакцией после восстановления равновесия была проверка запаса его визитных карточек, а также добродушный черный джентльмен с всепонимающей улыбкой на красиво очерченных губах — дипломат? Знаток кухни Старого Мира? Ну, и, наконец, шеф охраны всей окружающей среды Каспар Свингчэар, чье брюхо после победоносной борьбы с поясом и пуговицами теперь лежало на краю стола.

— Привет, ребята! Что вас всех привело сюда, в этот предположительно пустой храм позитивного знания в неслужебное время? — мягко спросил достопочтенный ГТТ.

Свингчэар ударил кулаком по столу и гулко сказал:

— Во имя всеобщего благосостояния требую, чтобы каждый вывернул карманы наизнанку!

Может показаться странным, но все немедленно выполнили его требование. С вывернутыми карманами они обменивались смутными улыбками и светскими комплиментами: «...Рад вас видеть... Хорошо выглядите... С удовольствием прочел вашу статью...» и т.д.

Мадемуазель Хиерарчикос, которая вроде бы в это время должна была быть на свидании, вошла в комнату (если так можно сказать о внутренней сфере Яйца), толкая перед собой тележку, нагруженную бутылками шерри и порта. Вскоре импровизированная вечеринка потекла веселее. Президент Трастайм представил коллегам своего нового ассистента, мисс Ленку Ясноата-манскую-Щевич, с помощью которой он надеялся продвинуть вперед свой

слегка увязший проект по исследованию скрытых ресурсов творческого начала. Касп Свингчзар подтолкнул вперед скромного черного джентльмена, сказав, что вот внезапно натолкнулся на кореша по траншеям Корейской войны, где они выбили порядочно дерьма из «комисов» и «гуков». Урсула Ус-рис сделала выпад невидимой рапирой и запустила неясное высказывание, напоминающее фехтовальную атаку в неопределенном направлении: «Иные особы постоянно переживают значение ценностей Ренессанса, а между тем не могут даже приобщиться к наследию Рембрандта!» Спецагент Доллархайд задохнулся от любви и горько пожалел, что атака пошла не в его сторону. Моменты, летящие над овальным столом для шерри, были заряжены огромным количеством электричества. Под тонкой пленкой светской учтивости шипело варево эмоций: неудовлетворенная страсть и неудержимая ревность, чувство долга и дерзкое пренебрежение им, даже отчасти и коварство, не говоря уже о злокозненности.

Опустошив бутылку «Бристольских сливок» в лучшем стиле Кривоарбатского переулочка, то есть «из горла», Филларион уже готовился сделать коллеге Усрис предложение прокатиться на Дикэйттор-стрит для дальнейшего гуманитарного сотрудничества, когда поток его мыслей и эмоций (или наоборот) был прерван взрывом горького театрального хохота неподалеку.

Все обернулись к источнику этого драматического излияния в стиле старорусского серьезного театра: это был Карлос Пэтси Хаммарбургеро. Бледный и напряженный молодой человек стоял со стаканом шерри в вытянутой руке. Лихорадочным взглядом он впивался в лицо-маску мадам Абажур. Отхохотавшись, он возгласил:

— Дамы и господа, давайте выпьем за матерей! За тех женщин, что зачали своих детей в ночи дебоша, в гнусных дешевых мотелях затем, чтобы бросить их потом, как и кошка не поступает со своим пометом! Давайте выпьем за тех зародышей, которые благодаря небрежности своих матерей избежали аборта, чтобы стать затоваренным излишком человечества! И еще раз поднимем бокалы за тех матерей, что забыли о своем природном долге ради погони за современным тщеславием!

— О, мой бедный беби! — вскричал тут пронзительно женский голос, однако никто из присутствующих не успел определить, был ли это на самом деле голос мадам Абажур, потому что вопль был заглушен адским, теперь уже отнюдь не театральным хохотом сверху.

Три чудовища среднего размера висели в воздухе прямо над головами людей, «гусеница», «селетка» и «дрозд». Не имея никаких органов хохота, они хохотали. Бессмысленная насмешка и безотчетная злоба слышались в полуметаллических, хотя и явно плотоядных голосах этого трио, появившегося, наконец, в полном составе в Желтке Яйца.

Минуту или две все присутствующие пребывали в ступоре. Потом один из наиболее тренированных индивидуумов, а именно генерал Егоров, он же ветеран Тимоти Инглиш, закурил сигару.

— Ваши птички, генерал? — тихо спросил его другой хорошо тренированный индивидуум, а именно спецагент Доллархайд.

— Хотел бы я, чтоб они были мои, спецагент, — Егоров несколько устало улыбнулся. — К несчастью, на данный момент у меня нет ни малейшего представления, как избавиться от проклятых тварей. Так что, Джим, если переживем эту ночь...

Монстры внезапно оборвали хохот и начали молчаливое угрожающее вращение над столом. Похоже было, что приближается неизбежное злодеяние. В течение следующих нескольких секунд слышалось только биение сердец. Отдавая должное участникам мужского пола, мы должны сказать, что иные из них сделали импульсивные движения, направленные к защите участников женского пола. Предоставляем читателю догадаться, кто защищал кого, а также в каких случаях эти благородные попытки завершились мощными ударами защищаемых персон по животам защитников. Внезапно, не причинив никакого вреда, монстры прекратили вращение и со скоростью телевизионных мультяшек просвистели через овал внутренней сферы в главную апертуру библиотеки. Грозный голос прогрохотал: «Не допущу никаких нарушений в системе безопасности!» Это был, разумеется, старый Касп. В момент наивысшего кощунства, когда монстры среднего размера, эти злые духи, решили посягнуть на святая святых, он отшвырнул в сторону свое сомнительное, мягко говоря, прошлое и все тайнички своей жизни и вернулся к берегам своей сути, а именно к обеспечению безопасности «этого тухлого Яйца». В мгновение ока он вытащил из своего всегда внушительного арсенала два атакующих объекта и бросился к библиотеке, дубинка в левой руке, пистолет в правой. Он исчез на мгновение, а в следующее мгновение его бездыханное и изуродованное тело было выброшено обратно и грохнулось на тот уровень, где наши персонажи стояли неподвижно с открытыми ртами. Впрочем, минутой позже неуклюжая эта и, пожалуй, пародийная трагедия

вызвала абсолютно необъяснимый взрыв эмоций. Молодой Пэтси и старая мадам Абажур вскричали в острой тоске, упали на колени и соединили свои руки над мертвым телом, профузно рыдая и слегка корчась в конвульсиях.

Позже, во время обследования, патологоанатом секретной службы США майор Нэвэрно выразил убеждение, что урон, причиненный брэнному телу Каспара Свингчэара, был результатом детально разработанных садистических пыток и уж никак не в течение одной секунды. Два или три часа, джентльмены, не менее того. Это заключение привело некоторых экспертов к предположению, что монстры среднего размера явились из другого измерения, где время не считается.

Вскоре после совершения злодеяния (было ли это на самом деле «вскоре после»?) сатанинский хохот возобновился во внутренней сфере Яйца. Трио вылетело из библиотеки. На этот раз все три твари, похоже, находились в состоянии полного экстаза: они производили шуточные сальто-мортале, рывки вибрации и даже некие чопорные взлеты сродни тем, чем славятся «голуби мира» над стадионом Ленина в Москве во время интернациональных шествий.

Какого черта им понадобилось в библиотеке, думал Джим Доллархайд. Его глаза следили за своенравными трионами, правая его рука, просто на всякий случай, располагалась под левой подмышкой. И почему они сейчас-то так радуются? Вряд ли бедняга Касп был их главной мишенью. И наконец, кроме всего прочего, с какого фера вся эта чудная компания тут собралась среди ночи?

В этом пункте нам следует добавить к нашему сказу еще одну торжественную нотку: третьего дня электронная охота привела Джима к удивительному открытию — истинным владельцем клуба верховой езды в Вирджинии оказался не кто иной, как Каспар Свингчэар.

— Ни в коем случае не пользуйтесь огнестрельным оружием, спецагент, — шепнул ему прямо в ухо фальшивый Тимоти Инглиш.

Джим пожал плечами:

— Как же еще мы сможем защититься от этой чертовщины?

Генерал усмехнулся:

— Мой опыт намекает мне, что надо полагаться исключительно на силу мускулов.

Немедленно после того, как эта фраза была произнесена, монстры среднего размера, как будто подслушавшие ее и по каким-то причинам испуганные возможным применением мускульной силы, в плотном строю, один за другим высвистелись вон из Яйца в неизвестном направлении.

Ночь головокружения завершалась, хотя равновесие было далеко еще не полностью восстановлено. Контур городских крыш все еще подрагивал в тот час, когда молодой Доллархайд и ветеран Егоров вышли вдвоем на пустынную Пенсильвания-авеню.

— Все-таки любопытно, кого следовало бы привлечь к ответственности за спуск с поводка этих, ей-ей, не очень-то приятных штучек, — сказал Джим, вовсю демонстрируя англо-саксонскую сдержанность.

Егоров покосился на своего сдержанного англо-саксонского собеседника не без симпатии и одобрения. Молодой специалист напомнил ему его собственный дебют в качестве канадского служащего на сельскохозяйственном предприятии в Шри Ланке.

— Ну, Джим, вообще-то это, конечно, частично наша вина, и мы в некотором смысле отвечаем за то, что потеряли контроль над одной проклятой штукой, которая оснащена этими фантомами. Вы, возможно, знаете, что мы сейчас находимся в процессе переосмысливания всей системы, ну, и разведка — не исключение. Наша служба должна быть решительно очищена от застоя, формализма, небрежности, бахвальства, принятия желаемого за действительность. Так что мы охотно признаем наши огрехи, наши несовершенства, хотя в данном отдельном случае мы не можем исключить, что и кто-то еще виноват, не только мы. Это не Чернобыль, мой друг, хотя осадки могут быть еще и хуже.

Проблема состоит в том, что одна суперструктура, которая должна была работать на нас (вы, конечно, понимаете, что я не могу на этот счет распространяться) вышла в свет с серьезным дефектом в самой сути своей задумки, и однажды эту штуку (верьте не верьте, но я не имею понятия о ее внешней форме), охватило что-то вроде наполеоновского комплекса.

С тех пор она отказывается принимать команды, по собственной прихоти заводит какие-то странные контакты с другими школами, расположенными в Вашингтоне, и выкидывает непредсказуемые и временами дикие трюки без какой-либо определенной цели... Хочу вам сказать, приятель, одну вещь, которая дико прозвучит в устах хорошо подкованного

коммуниста-материалиста... Мне кажется, что суперструктура имеет доступ к иным эзотерическим измерениям...

К моменту этого признания они остановились на углу Пенсильвании и Десятой, у подножия гигантского чудища штаб-квартиры ФБР, этого шедевра антиутопических декораций размером с целый квартал. Егоров ухватил Доллархайда за жилетную пуговицу: неисправимая привычка старороссийской интеллигенции — откручивать у собеседника жилетную пуговицу.

— Короче, мой мальчик, мы снова оказались в одной лодке. Я вижу, ты ухмыляешься, но иногда бывает так, что старый вздор насчет одной лодки оказывается реальностью. Я хочу посоветовать вашему руководству, особенно доктору Хоб-Готлибу и стараягенту д'Аваланшу, чтобы вам было разрешено сотрудничать напрямую со мной для выявления и изоляции опасной суперструктуры...

Джим почувствовал себя почти убаюканным мягким умиротворяющим голосом человека, чье самообладание, очевидно, возникло не вследствие англо-саксонских генов, но было выработано тщательной подготовкой и годами преданной службы. Ну, что за приятный пожилой малый; уж не собирается ли он пригласить меня на шикарный ужин с последующим завтраком? Славный хлопчик, думал Егоров. Ну, почему мы не можем просто стать друзьями или... хм... любовниками? Уж эта говенная война двух миров! Почему я неизбежно взвешиваю шанс, как бы его вербануть, вместо того, чтобы просто приготовить хороший густой борщ?

Он хорошо, по-солдатски пожал Джиму руку: товарищи по оружию!

— Позвольте, старина, мне сказать, что я чрезвычайно впечатлен стилем вашей работы!

— Не могу не вернуть вам этот комплимент, генерал, — сказал Джим.

— Вам даже знакомы имена моих непосредственных руководителей. Это удивительно, тем более что оба джентльмена на днях вышли в отставку.

— Кончайте эту лажу, спецагент, — усмехнулся Егоров, — ведь мы профессионалы.

Они расстались, улыбаясь.

Пять минут спустя на пустынных плоскостях Пенсильвания-авеню появилось живописное трио: Тед, Чарльз и матушка Обескураж, мечтательная Полли.

Они медленно двигались, толкая перед собой три тележки покупателя, явно позаимствованные в каком-нибудь супермаркете вашингтонской зоны. Тележки были доверху загружены их пожитками, то есть ржавыми канделябрами, мешками садовых фертилизаторов, мятыми плюшевыми игрушками, пластиковыми утками и фламинго, гипсовыми амурами и другими такими же необходимыми вещами.

Вдруг пронеслись три последовательных свистящих звука — как будто стальные птицы пролетели на небольшой высоте со сверхзвуковой скоростью; три друга подняли свои сонные лица к бледным небесам. Кочующая братия не заметила, как три летающих чудовища среднего размера сбросили им под ноги некий небольшой предмет, однако как только матушка Обескураж споткнулась об этот предмет, она немедленно его подняла и перекинула, чтоб не пропал, в свою тележку покупателя, где он пристроился рядом с картонной русалкой и двенадцатифунтовой головой сыра, пожертвованной Объединенной методистской церковью, в Чэви-Чэйсе, штат Мэриленд.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### Колесо Продолжает Закручиваться

Вот уж неделя, или более того, прошла после тех головокружительных событий, и все шло по-прежнему, никаких признаков нерегулярности не наблюдалось. Комиссия, назначенная Советом попечителей, после тщательно организованной инспекции не обнаружила в Тройном Эл и, в частности, в библиотеке никаких внешних или внутренних повреждений. Вдумчивое и тщательное рассмотрение всех обстоятельств (сродни знаменитой комиссии Уоррена) пришло к следующему заключению: «Как это стало ясно, некоторые излишне централизованные компьютеры при некоторых, еще несколько неясных ситуациях производят внутри своих структур определенную, хотя все же весьма гуманную тенденцию к частично ненормальным и необязательно логически обоснованным акциям...»

Почти тот же уровень ясности был продемонстрирован на похоронах доблестного рыцаря охраны. Приглашенный неизвестно откуда оратор с необъяснимыми повадками игрока в поло, в частности, сказал: «Трагический случай оборвал жизнь человека исключительных, хотя внешне и вполне скромных качеств...» Лицо мадам Абажур было воплощением японской

маски Но. Пэтси сжимал свои элегантные кулаки. Хуссако рыдал. Царило всеобщее смущение. Никто не говорил о странном сборище в ночном пространстве Яйца.

После возобновления регулярных занятий в научном центре Филларион Ф. Фофанофф лишь однажды сделал попытку вызвать Данные Дневника Достоевского (ДДД) на свой компьютер. Увы, единственный ответ на этот вызов был весьма лаконичен: «Больше в наличии не имеется».

Он был чертовски удручен. Из-за этого никому ненужного разгребанного шпионского бизнеса мы просто-напросто потеряли бесценный объект гениального наследия. Будучи многие годы безупречным членом мировой гуманитарной общины, Фил понимал, что нужно отложить все дела, включая и разгребанную греблю с Ее Высокомерием Урсулой Усрис, чтобы попытаться, невзирая ни на какой риск, спасти шедевр.

Как только идея самоотверженного служения мировой гуманитарной общине откристаллизовалась, Филларион известил советника Черночернова, что он покидает сферу тайных операций в связи с неотложным призывом послужить мировой филантропии и экологическому движению.

Реакция полковника на это заявление была, мягко говоря, не совсем обычной. После Ночи Головокружений Двойная Чернуха так и не смогла восстановить своего самообладания на сто процентов. Он часто бормотал что-то невнятное об угасании основных человеческих ценностей в современном мире, о неспособности масс, охваченных дешевым гедонизмом, оценить смысл власти и субординации в ранних, столь гармонически развитых формах государственности. «Ну, что ж, Фил, если хочешь завязать, твое дело. Гласность учит нас не быть слишком навязчивыми в секретных операциях. Следуя последним инструкциям, мы решительно порвали с варварскими методами убеждения».

— Как хорошо, что у вас не было этих инструкций перед нашей встречей у меня дома, на Дикэйттор, — искренне сказал Фил.

На следующее утро, производя несколько отвлекающих маневров в лабиринте Яйца, Фил в нарушение всех правил умудрился продраться — если так можно сказать о человеке его пропорций — внутрь святой святых, в кладовую рукописей, где его чувствительные ноздри немедленно уловили остаток странной вони, задержавшейся здесь после недавней электронной вакханалии.

Там — какой приятный сюрприз! — он налетел на своего друга почтенного Генри Трастайма и его нового помощника, тоже довольно хорошо знакомую Ленку Щевич. Пара в бесконечном поцелуе покачивалась на носках и каблуках между двух рядов полок, отмеченных буквой «Д». За ними на соответствующей полке под ярлыком «Дневник Достоевского, DWDR 793» он увидел драматическое зияние.

Он попытался отвлечь внимание любовников от их мускусных мембран к величайшей неудаче Мирового Гуманитаризма, к потере классического манускрипта, который должен, невзирая ни на что, быть возвращен даже хоть и из адских сфер. В ответ он увидел две пары глаз, качающихся, как катамараны, в гормональном урагане и услышал звуки, похожие скорее на иканье, чем на вразумительную речь.

— Что за-за-за курш-ш-шлюза, Ф-фил? Ты на самом деле имеешь в виду дневник Достоевского? Для чего он тебе понадобился? Для гармонии, ты говоришь, для бессмертия? Не для любви? Не для гормонов? Не для безнравственности? Не для КГБ, в конце концов? Что за куршлюзы?!

Другие сотрудники Тройного Эл только пожимали плечами да поглядывали искоса в ответ на его призывы звонить во все колокола для спасения «бриллианта Западной цивилизации».

— Держитесь подальше от Западной цивилизации! — сказала Урсула Усрис, когда он подошел к ней со своей колокольной идеей. Она нагло чиркнула молнией на его штанах, вниз и вверх (о да, и вверх!), и сухо сказала, что ни одна из его попыток подчинить ее физически или духовно не увенчается успехом, что он только выиграет, если займется своими разгребанными русскими суффиксами и префиксами и не будет посягать на грандиозную идею Западной цивилизации.

Что же касается русских грамматических частиц, незаслуженно одаренных доктором УУ таким сильным русским прилагательным, то и они, как жаловался доктор Жукоборец, стали частенько отказываться от сотрудничества, в том смысле, что его любимые «кртчк», «мрдк» и «чвек» стали проявлять склонность к длительным исчезновениям. Что уж тут говорить, любой призыв к раздраженному исследователю от имени мировой гуманитарной общины пропал бы втуне. Карлос же Пэтси Хаммарбургеро тем временем с меланхолическим выражением своего приятно очерченного лица сказал, что смерть шефа охраны Каспара Свингчзара разрушила его последние иллюзии по поводу способностей человеческой расы даже в таких простых делах, как профессиональное сотрудничество. Таким образом, впервые со времени своего прибытия на дружелюбные поля Вашингтонской академии Филларион почувствовал себя брошенным и одиноким. Оглядываясь вокруг, во время часов шерри, он находил только рассеянные взгляды, двусмысленные ухмылки, он слышал только заурядную тяготину. Почему, удивлялся он, никто из участников Ночи головокружения никогда не говорит о тех летающих монстрах, от которых кровь свертывается в жилах? Эта тема как будто намеренно обходится, как будто простое упоминание наглых исчадий может приоткрыть какие-то личные постыдные тайники. Он и сам себя спрашивал с недоумением: почему я так неуклюж и затруднен в попытках поднять интерес общественности к пропавшему дневнику? Почему я веду себя так, будто мне стыдно оказаться частью чего-то трухляво-вульгарного, будто то была не реальная ночь в реальном здании Яйца, а какой-то кошмарный сон, своего рода духовная трясина, которую хотелось бы забыть.

Пару раз в течение недели после той ночи он наталкивался на Джима Доллархайда, но несмотря на то, что, как он смутно припоминал, Джим тоже был там в ту ночь, он все-таки не поднял темы. Ему казалось, что было бы смехотворным втягивать легкого, славного знатока романтического периода в это отягощенное подсознанием дело. Вместо этого они ублажали друг друга разговорами о павловских гвардейцах, петербургском морозящем дожде, статуях Фальконе и т.д.

В свою очередь, Джима, отчаянно пытавшегося определить истинный смысл той ночи, ни разу не посетила идея поговорить начистоту с этим советским: ведь все-таки еще не было доказано, что Филларион не шпион. Кроме того, Джим тоже был как-то странно стеснен в разговорах о монстрах среднего размера. Таким образом, первый не смог найти реальной помощи в поисках пропавшего сокровища, в то время как последний попросту перескочил через человека, который мог бы дать ему настоящий ключ ко всему делу. Порочный круг этой кви-про-кво трагикомедии продолжал крутиться, и поезд событий приближался к тому пункту, где Филиситата Хиерарчикос, не без грации взлетает на сцену и объявляет о своей блестящей идее организовать «Вечер лягушачьих ножек» под сенью жилищного коопа «Кон-до дель Мондо».

### Трехцветное Жаркое Из Лягушачьих Ножек

Кто знает, почему эта поистине блестящая идея пришла в голову Филиситаты? Может быть, мамзель была озабочена центробежными силами, бушующими в ее любимой общине, и жаждала воссоединить коллег в стиле утонченного парижского суарэ, а может быть, у нее были совершенно иные, гораздо дальше идущие планы?

Так или иначе, однажды вечером в начале декабря обширная гостиная на первом этаже Кондо дель Мондо была залита ярким светом и заполнена уютно жужжащими голосами почти всех наших персонажей. В тот вечер каждый хотел отбросить заботы и насладиться легкой светской болтовней, перемежаемой изысканным похрустыванием слегка пережженных лапок амфибий.

В соответствии с новым духом гласности советник Черночернов был также приглашен с супругой, и — вот так чудо! — оба приняли приглашение и явились на это несколько фривольное собрание. Довольно шикарная парочка в полном блеске Мос-квы-88 — блэйзер с двуглавым орлом на пуговицах, глубокое декольте, открывающее ключицы, похожие на оборонительные сооружения долговременного использования.

На левой руке товарища Черночернова Алик Жукоборец заметил толстое золотое кольцо с выгравированным на нем профилем Императора Николая Второго.

— Что это у вас такое, господин Черночернов? — невинно спросил Алик по-русски. — Неужели Его Величество, наш последний Император?

Советник подозрительно взглянул на ученого. Ох, уж эти бывшие соотечественники из этой дерьмовой Третьей волны, вот болячка! То и дело ставят в неловкое положение наш дипломатический персонал эти выскочки и всезнайки нерусской нации! Перекрывают дорогу к

плодотворным контактам с туземной интеллигенцией. Хуже всего, что их не сразу различишь! Ну, кто бы, например, догадался, что этот долговязый приятель в галстук-бабочке и с подстриженными усиками окажется одним из тех сионистов, что добровольно (добровольно — sic!) покинули Родину, тем самым совершив ошибку на грани преступления!...Хм-хм-хм... немного устаревшая терминология в свете капризных выкрутасов перестройки, однако...

— Вы знаете, я как-то слушал вашу лекцию, — сказал Жукоборец, — ваше примечательное представление марксистского подхода к садово-культурному наследию Российской государственности. — Брови советника превратились из одной сурово сжатой «галочки» в пару пушистых пчелок. Эта лекция была ого сокровенным триумфом, поскольку ему удалось в ней сделать несколько намеков на последовательность... сечете, дамы и господа, последовательность!... садово-культурного наследия России.

— Да вы, наверное, молодой человек, подозреваете меня в монархических взглядах? — Его «О» в этот вечер были округлы и подчеркнуты, как вся «деревенская литература». — А все-таки, молодой человек, этот кусочек золота на самом деле — сувенир вашей героической революции!

Ну, что за волшебное слово! Едва услышав слово «революция», гости стали собираться вокруг полковника: мадам Абажур, профессор Хуссако, почтенный Генри Тоусенд Трастайм, эскайр, со своей новой помощницей... Какое возбуждающее, ей-ей, афродизиакальное слово!

— Это кольцо — память моей матери, которая щипала красных бойцов во время гражданской войны, а сделано оно из монеты, данной моей матери раненым буденовцем, а происходило это в глубоком тылу Белой армии...

Всегда, когда скрытый монархист повествовал эту полностью фальшивую и несколько похабную историю, он чувствовал себя, как тяжелый налим, выскользающий из сети. С другой стороны, всякий раз, как история завершалась, он испытывал странное удовлетворение, некое сладкое бодрое пощипыванье: уе-е-ек, опять у-у-тек! Подлый грязный лгун, думала Марта, стоя неподалеку с превосходной дипломатической улыбкой на устах, бледных, словно листья колхозной кукурузы.

Все зааплодировали дивному советскому джентльмену, все, включая трио новых приятельниц Жукоборца, то есть трех сестер трех разных человеческих рас, Милиции Онто-Потоцки, Глории Чэмберлен и Иэн Уоу, которых он представил коллегам как членов вашингтонской интеллектуальной богемы, немного в стиле Бертольда Брехта; или, так сказать, Старый Стокгольм. Штатное трио Тройного Эл, Пинки, Розы и Монти Блю, было в восторге: О, Брехт! О, да!

Теперь у нас есть время для риторического вопроса? Кто когда-либо превзошел Либеральную лигу в ее приверженности к принципам терпимости? Гордо и триумфально мы можем ответить утвердительным отрицанием: никто!

Появление, рука об руку, Джима Доллархайда и Урсулы Усрис на лягушачьем вечере Кондо дель Мондо оказалось немедленным подтверждением приведенного выше молниеносного лирического отступления. Никто из гостей не был шокирован некомплектностью их туалетов, то есть обрывками странных одеяний, болтающихся на их великолепных телах. Наоборот, все были в восторге от изобретательности и оригинальности молодых людей, а птица Гласности, Филларион Фофановф, открыл объятия и сказал, что он просто умирает от желания слиться с ними, с двумя его ближайшими душами в мире, раствориться в них и вознестись к чистому экстазу, без всяких осадков.

Камнями по воронам, подумала Урсула, похоже, что проклятые русские начисто лишены чувства ревности!

Что касается спецагента Доллархайда, то он был просто захлестнут чувством цельности и причинности (состояние ума и души, известное под кодовым именем «счастье»). Ну, как вам это нравится, сама позвонила, сказала, что жаждет повторить встречу Леди Стальная Пятка и Маэстро Паганини! Ему казалось, что он танцует вальсы и мазурки в духе Русской Романтической Поэзии, он готов был уже бряцать воображаемыми гусарскими шпорами, выпивать до дна бутылки вина «Кометы», мчаться опрометью то к одной, то к другой группе дискутирующих лягушатников... спорить до зари о чем угодно... почему бы не о Достоевском, братцы?... Почему бы не о Марксе, сестренки?... Почему бы не о потерянных рукописях, дамы и господа? Вдруг, внезапно, как гром среди ясного неба, его пошали к телефону.

— Келькьон ву телефоне, месье, — сказала Филиситата Хи-срарчикос, держа трубку в своих длинных пальцах арфистки. — Же круа ке вуз алле инвите вотр ами а нотр петит суаре, не-с-па? Уверена, что вы пригласите вашего друга на нашу маленькую вечеринку, не так ли?

Русский имперский гусар быстро исчез в побрякивающих шпорами па-де-де мазурки, тогда как контрразведчик ФБР оцетинился по тревоге. Кто мог сегодня вечером выследить его в Кондо дель Мондо? Старший агент д'Аваланш? Какой-нибудь тип привидений? Фантомы литературы, истории, археологии? Валькирии, наконец?

Густой бархатный голос, спокойный, но не без некоторых драматических извивов, принадлежал человеку, которого Джим решительно исключал из своего списка предположений. «Ради всей цивилизации, умоляю вас, мистер Доллархайд, покинуть на минуту вашу вечеринку», — произнес генерал Егоров.

Они встретились на углу улиц «М» («Метрополь») и Двадцать Третьей (улицы 23-го залпа). Этот перекресток недавно трансформировался из затхлой параша южного захолустья в деловой район мировой столицы с тремя величественными отелями в чисто постмодернистском стиле, с толпой, жужжащей в космополитической абракадабре, а также с лимузинами, постоянно разгружающими очаровательный груз длинноногих и мини-юбочных посетительниц дорогих нумеров-с.

В этот раз наш корифей гастрономии был одет в белый комбинезон и твердую пластмассовую каску, что делало его похожим на подлинного члена того класса, чье счастье было главной заботой его организации.

Он пригласил Джима в маленький фургончик с надписью на борту: «Маляры по радуге и К°». Они сели на скамейки напротив друг друга, между ними оказалось три ведра краски. Синяя, красная и белая, Заметил Джим. Есть в этом какой-то смысл?

Мясистая рука легла на костлявое колено спецагента:

— Подошел решающий момент истории, мой друг! Интересно, все они так склонны к дешевой театральщине?

— Без ложной высокопарности, сынок, скажу тебе: перед нами момент истории!

Извольте, я уже его «сынок»!

— Мы должны действовать быстро и решительно, иначе история плюнет в рожи двух слабаков, двух соскососов, которые не смогли для нее пошевелить и пальцем!

Нельзя не оценить этот мастерский оксиморон, сопровождаемый усмешкой, хотя нельзя и не поставить под вопрос уместность пребывания мародерской лапы на молодежном колене.

Егоров продолжал:

— Дело в том, что я на девяносто процентов убежден, что суперструктура, о которой мы говорили пару недель назад, в настоящее время находится здесь, в Кондо дель Мондо. Мои многомесячные попытки напасть на ее след вдруг привели к неожиданным результатам. Мы не можем себе позволить упустить такой шанс! Главная проблема состоит в том, как выделить суперструктуру из тридцати пяти любителей лягушачьих ножек. В чьем теле она путешествует?

— В чьем теле путешествует суперструктура? — пробормотал Джим. — Да вы впадаете в мистицизм, генерал.

— А как мне этого избежать, спецагент, — горячно прошептал Егоров. — Оглянитесь! Разве вы не видите вокруг взрыва мистицизма? Хотел бы я послать на большой фулуфуй все школы позитивной мысли, в том числе разгребанный Институт марксизма-ленинизма, с теми фактами, что я недавно собрал в пользу негативной мысли. Ты только подумай, Джим-лапуля, обычное дело внедрения агента в столицу потенциального противника превращается в череду кошмаров, в вакханалию монстров среднего размера! — А чего мы можем ждать завтра? Позволь мне сказать тебе, Джим, как мужчина мужчине, что последствия нашей халатности могут превзойти самое дикое воображение, перепахать тут все поперек борозды. Прошу прощения за прямой перевод...

— Что нам нужно делать? — спросил Джим. Егоров вздохнул с облегчением.

— Слава Богу, что есть такой парень, как вы, Джим. Слушай, ты возвращаешься на вечеринку и плотно наблюдаешь всех присутствующих. Тем временем я буду давить на суперструктуру средствами, которые я сейчас имею в своем распоряжении. Как только ты заметишь, что кому-то стало не по себе, что кого-то затрясло или законвульсировало, ты немедленно сообщаяешь мне об этом по уки-токи...

— Простите, генерал, но почему вы выбрали меня для такой деликатной операции? Насколько я знаю, у вас есть свои люди в Кондо дель Мондо, — невинно спросил Джим.

— Ненадежны, — проворчал Егоров. — Один погряз во вздорном монархизме, другая — старомодная коммунистическая халява, третий — просто дурацкий просчет нашего руководства, и я не собираюсь держать в секрете своего отношения к такому небрежному отбору наших заокеанских оперативников! Что касается четвертого... хм... думаю, что хватит... в общем не па кого положиться...

— Значит, я здесь — это единственный человек нашей профессии и сторонник либеральной цивилизации, которому вы можете доверять, и мы, стало быть, коллеги, да? — улыбнулся Джим.

— Ну, разумеется, — серьезно кивнул Егоров.

Джим усмехнулся. Что за миражи тут развешивает этот дюжий, хитрый мужик? О'кей, в соответствии с традициями наших праотцев, тех всадников пустыни, что всегда скакали к неведомым горизонтам, пойдём на риск сотрудничества, однако прежде всего проверю товарища генерала нашим личным сверхсекретным испытательным устройством, то есть левым мизинцем. Он осторожно удалил мясистую жабу генеральской руки со своего колена, а затем вонзил свой сверлящий палец в генеральское пузо.

— Ну и пальчик у вас, Джим! — скрипел генерал. — Жалит, как черт, дико убедительный мерзавчик!

Джим продолжал сверление. Он мог уже пальпировать край генеральской печени и изгиб дуоденум.

— Чего ты хочешь, Джим, — стонал генерал. — Положи свою повестку на стол переговоров!

Держа свой испытательный мизинец в зоне генеральской селезенки, спецгент провел «тест Кью»:

— Какими средствами вы располагаете, ваше превосходительство, для воздействия на вашу мистическую суперструктуру?

— О'кей, скажу, — кивнул Егоров. Он испустил вздох облегчения, когда маленький разведчик покинул его кишки.

— Хотел бы я иметь такого изобретательного парня, как ты, в моем аппарате. — Потом показал подбородком вниз: — Видишь эту субстанцию в трех ведрах, красную, синюю и белую? Когда я помешиваю ее в определенной последовательности моим указательным — а этот старый грешник все-таки еще на что-то способен, — суперструктура, по моим предположениям, должна страдать, как мышь в ловушке, по крайней мере, до тех пор, пока она не выработает какой-нибудь защиты. А теперь, спецгент, умоляю, давай отложим в сторону отдельные интересы наших школ ради общей универсальной ответственности!

## Кртчк, Мрдк, Чвск

В Кондо дель Мондо царил вальс! Амурские волны, завихренья Амура! Резвое циркулярное шарканье подошв по паркетному полу... быстрый и жадный обмен мнениями на тему о рукописях-апокрифах по ходу сужения...

Гляньте-ка на этих танцоров! Мужественный Жукоборец с отрядом чопорных девиц, ведомых мамзелью чистого совершенства, Филиситатой Хиерарчикос; декадентная лилия мадам Абажур с прической в виде древнеегипетского шлема в вельветовых объятиях своего суперинтеллектуального мужа; счастливый Фил Фофановф, зажавший в своих медвежьих объятиях гладкую, как тюлень, хоть и пушистую, как коала, и как всегда весьма самоуверенную профессоршу Урсуну, которая умудрилась уже сменить обрывки своего воинственного туалета на взбитые сливки бального платья Наташи Ростовоной; советник Черночернов, вращающийся в твердых руках латышского красного стрелка, — иной раз слабый дискант полковника был различим в волнах музыки и взрывах дискуссий: «А как насчет смены партнеров, дорогие товарищи?»; ну и также кучка мало кому известных друзей вечно таинственного и аккуратно одетого представителя страны восходящего солнца с хрупкой косточкой амфибии в углу его улыбающегося рта...

— Какая непосредственность! — воскликнул глубоко тронутый президент Генри Трастайм.

«Посмотри-ка, мой морской конек, как естественны наш Пробосцис и доктор Усрис, когда они, вальсируя, обсуждают аутентичность „Слова о полку Игореве“! И как славно они на полной скорости обмениваются шиболетами, то есть вербальными символами нашего клана, с нашими с тобой любимыми супругами Джоселин и Ясноатаманским. А теперь наблюдай, моя канарейка, как небрежно я адресуюсь к нашему Хуссако, этому улыбочивому гению острова Хоккайдо. Эй, Хуссако-сан, кам никогда не приходило в голову, что многие японские мифы первично возникли в Китае... у-у-упс, порыв вальса относит нас в сторону, но я могу уже представить, какую бамбуковую дубину готовит он мне в ответ. Мне кажется, что такого типа

ассамблеи могут быть более плодотворными, чем наши обычные шерри-коктейли. Отныне мы должны внедрить подобные спонтанные кружения в нашу академическую практику». «Или даже еще более спонтанные кружения», — шепнула мисс Щевич еле слышно. Ее пальцы в легком стакато прогулялись вдоль позвоночника достопочтенного ГТТ от шеи до копчика. «Ах, моя карамелька, ты опять заходишь слишком далеко», — вздохнул он.

Амурские волны, волны Амура!

Хуссако был о'кей, все были вполне о'кей. Небрежно насвистывая мелодию распада Российской империи, Джим Доллархайд проскользнул в соседний холл, откуда несколько лестниц вели в частные квартиры. Откатывающаяся дверь толстого стекла закрылась за ним и приглушила музыку, и вот тогда, в тишине, Джим и услышал доносящиеся сверху стоны. С живостью, что считалась непревзойденной среди его коллег, Джим определил, из-за какой двери доносятся стоны. Используя свое самое изощренное приспособление, а именно правое ухо, Джим стал прислушиваться к стонам, которые перемежались со взрывами сквернословия на многих языках, с немалой долей русского матюга. Попросту толкнув дверь коленом, он вошел внутрь (нечего и говорить, что его правая рука в этот момент была в районе его левой подмышки) и увидел на диване стройное тело, корчащееся в конвульсиях. Это был Карлос Пэтси Хаммарбургеро.

Джим взял стул и сел напротив аргентинца. Последний, очевидно, его не видел, хотя его лицо с немислимо выпученными глазами было повернуто к гостю.

Джим не отрывал от Пэтси взгляда. Впервые в жизни он наблюдал муки человека в состоянии какой-то дикой летаргии, вызванной перемешиванием трех цветов краски в трех разных ведрах. И так, вот она Эс-Эс, Супер Структура, самый зловередный возмутитель спокойствия в Вашингтонской разведывательной общине. Жаль, что им оказался именно этот малый, подкидыш международной аристократии, многократная жертва похищений, безупречный денди и просто приветливый приятный феллоу, с которым спецагент даже не исключал возможности небольшого романешти перед своим гордым переходом в племя мужланов.

Джиму казалось, что каждый всплеск изящных конечностей был непосредственно вызван безжалостными движениями пальца генерала Егорова. То там, то здесь на обнаженных частях кожи Пэтси, а именно в пупковой зоне и вокруг ключиц, появлялись и начинали пульсировать пятна трехцветной сыпи.

Потом внезапно Пэтси прекратил стонать и ругаться, руки и ноги, как будто устав дергаться, мирно и даже не без грации легли вдоль тела — летаргия овладевала сеньором Хаммарбургеро, этим далеко не худшим представителем человеческой расы.

— Бедный мальчик! — произнес женский голос за спиной Джима. — Бедное мое многострадальное дитя!

Будучи хорошо тренированным агентом, что, разумеется, было замечено читателем, Джим внешне не выказал никаких признаков удивления. Он спокойно поднял взгляд к зеркалу над постелью и увидел в нем отражения продолговатых декадентских ниц месье и мадам Абажур.

— А вы, должно быть, друг моего бедного Пэтси? — спросила мадам Абажур.

— Да, мадам, я его близкий друг.

Сухая и довольно крупная рука легла на плечо молодого человека, словно талисман всех смертных грехов.

— Япрекрасно понимаю, что вы имеете в виду, мой хорошенький Парис, сын Приама и Гекубы! Поверьте, как мать и как человек современных убеждений, я действительно ценю вашу близость и преданность моему сыну. Пожалуйста, не беспокойтесь о нем: мой муж и я позаботимся обо всем. Просто дайте мне ваш телефон, и я буду держать вас в курсе.

— Ни в коем случае, мадам, — ответил Джим вежливо. — Разумеется, я высоко ценю ваше благородное желание опекать этого злополучного индивидуума, однако я просто не могу оставить тело на произвол судьбы, иными словами, вверить его незнакомцам, несмотря на то, что они объявляют себя его ближайшими родственниками. Разумеется, мадам, любое подтверждение ваших претензий на материнство приветствовалось бы без всяких оговорок.

После этого заявления страннейшие изменения трансформировали черты утонченной дамы, которая когда-то считалась властительницей дум Левого берега Парижа, включая правую набережную острова Сан-Луи. В мгновение ока она подбоченилась, задрала подбородок выше носа, с высочайшим пренебрежением посмотрела на Джима и обратилась к нему в манере торговли копченой салакой с Одесского колхозного рынка, что опровергает оппонента резкой репликой: «Сами вы дурак, сэр!»



комнате. Громкость чирикания нараста-ла. Три полноразмерных монстра среднего размера взирали на офицеров с бессмысленной насмешкой.

Наручники на летаргическом теле вдруг лопнули, точно шелковые струны. В мгновение ока Карлос Пэтси Хаммарбургеро, он же Супер Структура, он же Зеро-Зет, вздыбился в середине комнаты, руки воздеты к потолку. Грозный вид сродни некоему карающему демону. Голос его, поднимаясь постепенно из глупим его галактики (мы, разумеется, имеем в виду галактику его структурных клеток), возрастал угрожающе, пока не достиг громовых высот: «Во имя моего обманутого поколения, я уничтожаю...» Мгновенно комната наполнилась почти невыносимым запахом серы. Черт побери, Джим содрогнулся от макушки до своих ахилловых сухожилий, мы сами себя затащили в ловушку! Три монстра соскочили с книжной полки и теперь висели в воздухе перед лицами трех федеральных агентов.

— Не стреляйте, братцы! — выкрикнул Джим. — Их надо брать руками, только...

Он снова опоздал. Д'Аваланш выстрелил, по крайней мере, три раза из-под своей левой подмышки. Адский грохот поднимался из ниоткуда. Он был столь неотвратим и могуч, что казался вещественным и осязаемым, словно извержение вулкана. Мгновенно все предметы были поглощены его сатанинскими децибелами. У Джима еще было время догадаться: этот шум идет из другого Измерения! Вот почему он воняет и кажется видимым и осязаемым, а потому...

В следующее мгновение все здание модного кондоминиума коллапсировало к полнейшему восхищению завсегдаев ближайшего бара, которым случилось остановить свои вдумчивые взгляды в правильном месте в верное время. Когда же шум и вонь улеглись, над развалинами, в баре возобновилось употребление напитков. Лишняя изюминка, ей-ей, не испортит пирога.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

### Ночь Серебряного Века

Автор прекрасно понимает, что его авторитет может быть подорван, заяви он сейчас, что никто из танцоров не пострадал при крушении Кондо дель Мондо, и все-таки он идет на этот риск, больше того, он даже осмеливается заявить, что это не имеет никакого отношения к околичностям современной прозы. Народ просто вышел из здания за три минуты до звуковых тверждений.

Дело в том, что один из танцоров (упоминание в этой связи имени Филлариона не было бы слишком большой натяжкой) запустил идею отправиться в «таинственный лабиринт среднеатлантической ночи», другими словами, пошлепать куда-нибудь в Джорджтаун, а точнее в кафе «An Pied de Cochon», «У (виной Ножки», скандально известное с той поры, когда браный полковник разведки Юрченко прочимчиво оттуда до (Оветского посольства, что дюжину кварталов вверх по авеню Висконсин.

Вся компания отправилась из Кондо дель Мондо пешком.

— Это будет не просто ночь, а зази-зиш-зови-зээзл-ночь! — прошептала Урсула прямо в гущу филларионовского уха. — Сечешь?

— Ну, разумеется, моя дорогая Жемчужная Лагуна!

— Это что-то сродни этому вашему до разгребанности раздутому Серебряному веку, Белая ночь Дикой Мечты...

Она испустила захватывающий и нежный и вместе с тем реактивный вихрь мечты, о котором он только мог мечтать в своих староарбатских грезах; что это было, духи «Бродячей (обаки)?

— Подожди! — она скользнула в скромно освещенную дверь «Бродячей Собаки».

Не важно, что это было, бутик, кафе или бордель, через десять минут она вернулась в новом ослепительном, сверкающем образе Коломбины, Петербург-1913. Ее суть, так долго замаскированная, — хотя далеко не всегда удачно, мы должны признать, под сбруей академической зануды, теперь вознеслась к своей истинной вершине: это была жрица любви, блистательная распутница, Леди Нежность собственной персоной. И без малейшего намека на сдержанность она упала в жаждущие руки Фила Фофановфа.

— Я люблю тебя, мой бедный толстяк! Я не дам изуродовать твою душу фламинго! Я люблю твою грязную Россию, мой ублюдок! Я не позволю ей погибнуть!

Это было то, что она хотела произнести вместо того, чтобы проборматывать какой-то чувственный вздор, держа в зубах кружева своей юбки, в то время как Фил Фофановф браво

углублялся все глубже в таинства Серебряного века. Оргия чувственности на бурлацкой тропе старого канала Часапик-Огайо, пир на покинутых в ночи кормушках бурлаков-мулов!

Потом они прогуливались вдоль узкой набережной, стараясь изобразить из себя вполне приличную парочку привидений. Будто декорации под раскинувшимися ветвями граба, их окружал мир старины. Тут были маленькие окошечки и полуоткрытые двери старого миниатюрного капитализма; можно было увидеть лавку, торгующую шотландскими горнами с мехами, или часовую мастерскую, представленную почему-то на витрине чучелом оцетинившегося дикобраза, или колониальную фармацию, откуда пахло чабрецом и которая выставила в окошке желтоватые чаши с порошком из растертых слепней, различные грибообразные растения, листья, корни, кувшинчики, содержащие хрупкие остовы морских коньков, молотый женьшень, пилюли, сделанные из рогов пятнистого оленя, рыбий клей, змеиную желчь, порошок ороговевшего носа, тигриную кость и другие чудотворные субстанции.

Они проходили мимо, как прототипы извращенной версии романов Теодора Драйзера.

— Знаешь что, дорогая моя Филадельфия? — произнесла она, кладя свою розовую щеку на крутой склон его плеча. — Иногда мне хочется хорошенько запасть афродизьяками, схватить за какую-нибудь твою самую ухватистую часть, да и драпануть от всей этой ярмарки тщеславия в Южную Тихоокеанию.

— Для меня лучшее убежище — это ты, моя Жемчужная Лагуна, — Фил меланхолично вдохнул мокрый воздух Средней Атлантики, — но, конечно же, я желаю тебе удачи в буксировке меня к южным островам. — Она улыбнулась и мило шлепнула его по одному из двух его пушечных ядер.

— О, мой зяблик, — простонал он, снова заводясь внутренним мотором.

— Мечты, — усмехнулась Коломбина, Петербург-1913. — Увы, может быть, мы уже опоздали, мой Хобот, потому что сегодня не просто ночь, а заззи-зинг-зови-ззззл-ночь!

— О, да! — и он выдохнул сухой и горячий воздух Пелопоннесского полуострова.

### «У Свиной Ножки»

По Висконсин-авеню вверх и вниз катили автомобили, кинотеатры приглашали на сомнительные фильмы, бродячий саксофонист раздувал ностальгию, торговец фиалками скользил с чашей своего товара, который порой может быть опаснее, чем кокаин, двери «Au Pied de Cochon» раскачивались на петлях, представляя обществу то панка, то студента, то ночной цветочек с клиентом. Первое, что они увидели, когда вошли, была большая отвратительная картина, изображающая тройку поваров с ножами, преследующую свинтуса, который явно не выражал ни малейшего желания идти в готовку: ужаснейшая эта картина, очевидно, должна была сразу задавать тут истинно французский стиль. Не знаю, как насчет людей из разведки, по нашей компании это не очень-то понравилось.

Посетители сидели за шаткими столиками внутри шатких лож. Официанты, все французы, с мопассановскими усами, в длинных и существенно заляпанных фартуках, хороводились вокруг кофейной машины в непосредственной близости к единственному, унисекс, туалету.

Половой Жако в непринужденной манере чеховского буфетчика рассказал нашей компании свою версию истории полковника Юр-ченко, которая когда-то потрясла эту круглосуточную забегаловку:

— Врать не буду, как только эти два мусью вошли в кафе, я сразу подумал: ну вот и шпиены заявились!

Пар дессус тут, ну прежде всего, конечно, помню парня с длинными усами, ходил вперевалочку, неуклюжий малый, сказать по чести, малость смахивал, месье-дам, на пана Валенсу. Ну, второй, врать не буду, не очень примечательный, не очень вообще-то запоминающаяся личность...

Ну, тогда этот первый парень начинает выговаривать второму, то есть сопровождающему. Куда, дескать, вы меня привели? Мне здесь не нравится! Такой, вишь ли, разборчивый, я вам скажу. Стильное французское заведение ему не подходит!

О чем они говорили? Ну, врать не буду, месье-дам, толковали они о любви. Вот именно любовь была у них на повестке дня. Не обязательно, дескать, быть верным в любви, но вот измена требует верности, вот об этом как раз сопровождающий и говорил усатому Мы вообще-то привыкли к таким разговорам промеж мужчин. Потом сопровождающий извинился

и пошел в туалет почистить зубы, как он сказал. Из гальяна он передал свою кредитную карточку нашему буфетчику, а нотр Жерар, и тут же слинял, испарился на месте, тут де суит!

Усатый, то есть полковник Юрченко, как мы позже-то узнали, сидел один почти что два часа, пел еле слышно что-то грустное (Жакко воспроизвел мелодию «Шумел камыш», любимую тему советских вытрезвителей), потом глубоко вздохнул, махнул рукой в безнадежности и вышел. Я вот как раз здесь стоял, народы, и видел, как он прошел мимо окна по улице. Развернул зонтик с надписью «Столичная»... В общем и целом, не вижу ничего особенного в этой истории: нынче, знаете ли, очень сложная ситуация внутри мужского пола...

## Those Foolish Things

Тем временем президент Либеральной лиги Линкольна играл на саксофоне, а все наши уцелевшие персонажи наслаждались его игрой. Давно уже достопочтенный ГТТ смирил свою ренессансную натуру, чтобы подниматься вверх по социальной лестнице, и только недавно, а именно после встречи с мисс Щевич, он спустил с поводка свои многочисленные таланты. В частности, он продолжил разработку проекта вертолета с задним ходом, впервые предложенного Леонардо да Винчи. Больше того, он даже, как видим, возобновил игру на саксофоне.

— Знаешь, милая, — сказал господин Ясноатаманский Джо-селин Трастайм, — твой муж мне представляется истинным предвозвестником вашего беби-бум поколения. Он родился слишком поздно, чтобы стать одним из производителей этого поколения, и слишком рано, чтобы быть одним из них, однако этот тип человеческих индивидуальностей всегда является предвозвестником различных бумов.

— Как глубоко! — воскликнула сидящая с ними за одним столиком Ленка. — Вот так я люблю вас обоих: ты размышляешь, а он играет!

— Некоторые полагали его занудой, — сказала Джоселин. — Но это неверно. В спальне он всегда играл, как человек Ренессанса. Все было так просто, так свежо, так убедительно...

— Крошка моя, — сказала Ленка и поцеловала мочку Джоселининого уха.

Достопочтенный ГТТ играл «Those Foolish Things», эти старые глупости. У него был неотразимый свинг, и его старый друг Фил Ф. Фифановф, также известный как Пробосцис, присоединился к нему со своим энергичным стаккато по толстым струнам контрабаса. В цилиндре и с сигарой, зажатой меж его корпулентных губ, этот буревестник Перестройки был похож на образ классического капиталиста, вечный жупел классово́й борьбы.

Those Foolish Things...

Внезапно и дико стаккато зашпатыкалось. Фифановфский взгляд непроизвольно упал на трио, что сидело в полумраке слева от него вокруг столика на двоих. Три существа среднего возраста выглядели несколько старомодно в их слегка траченных молью бархатных одеяниях. Одна из них, фемина на вид, в туалете болотного цвета, пользовалась лорнетом, чтобы поглядывать на одного из своих компаньонов, который яростно, будто охваченный внезапно нахлынувшим вдохновением, строчил что-то в блокноте. Тем временем третий нервно барабанил по стулу кончиками пальцев. Нужно было обладать определенной наблюдательностью или — что касается наших читателей — определенной читательской смекалистостью, чтобы распознать в этих довольно приличных людях двух заборзевших бомжей Теда и Чарльза (или, если угодно, Федю и Карла) и королеву местных шалашовок матушку Обескураж, интимно известную как Полли. Нечего и говорить, Филларион не принадлежал к числу смекалистых наблюдателей. Потрясло его то, что чело-иск с объемистой лохматой бородой делал свои заметки рядом с неповторимым почерком русского гения, величайшего медведя русского пера. Другими словами, объект всеобщей жажды, маленький, переплетенный в марокканскую кожу альбомчик, находился сейчас в трех ярдах от Филлариона! Он приглушил соло, и вот что он услышал сквозь мягкие звуки, творимые его пальцами:

— Ну, как вам это нравится, милостидари и милостидары-ни? — сказал Тед, повторяя коронный жест кандидата в президенты Майка Дукакиса.

— Полли, благородная дева, как бы ни относилось к тебе всеядное потомство, ты все еще принадлежишь к моему внутреннему миру, к сфере моей вселенной, не так ли? Как же ты можешь терпеть тот возмутительный факт, что третье лицо, пусть даже близкое к нам, но третье лицо, использует вещь, которую ты мне дала как подтверждение нашей внутренней близости, эту старинную красивую вещицу, пусть и бывшую в употреблении и частично замазанную неразборчивыми варварскими записями, для записывания побочных продуктов его вполне посредственных псевдонаучных наблюдений, как ты можешь?

— Да ну, Тедди, — матушка Обескураж шаловливо и с некоторой даже похотливостью ему улыбнулась и помахала веером, ну, прямо в стиле кружка Блумсберри.

— Не ссорьтесь, мальчики! Эту пухлую штучку вполне можно использовать на двоих, равно как и некоторые другие вещи, что в нашем общем владении.

В этот момент Чарльз прервал свои лихорадочные записи и ударил кулаком по шаткому столику. Три тарелочки с крем-карамелью покрылись трещинами, как отражения трех лун в озере при землетрясении.

— Подожди, Полли! Я не могу допустить этого наглого вторжения в мой частный мир! Вы зашли слишком далеко, монсеньор, в своем свинском воображении! Уверен, что граждане этого города, невзирая на свои убеждения и классовую принадлежность, не останутся равнодушны, сэр, если я разоблачу некоторые аспекты вашего бесстыдного поведения! Быть вам вымазанным дегтем и вываланным в перьях, кабальеро! А ты, Полли! Постыдись, падший мой ангел!...

— Ни шагу дальше! — возопил Тед. — Требую немедленного удовлетворения!

Перчатка была сорвана с руки, энное количество пудры упало на дрожащие поверхности внизу.

— Дуэль? — взвизгнул Чарльз. — Вот и чудесно!

Движением, резкости которого до зелени в лицах позавидовали бы бейсболисты «Кардиналов Сан-Луиса», он схватил ржавую перчатку, брошенную ему прямо в лицо.

Двое мужчин стояли друг перед другом, охваченные ураганом эмоций: любовь и ненависть, привязанность и тщеславие, ревность и чувство исторической непреложности.

Перед лицом драматической сцены матушка Обескураж лишь производила какую-то странную серию неадекватных жестов, похожих на хлопанье крыльев у дикого гуся в конце далекого перелета. Этот взрыв внутри как бы вполне приличного, хоть и потусторонне странного трио привлек всеобщее внимание. Пауза. Немая сцена. И только почтенный Генри Тоусенд Трастайм, держа саксофон наподобие эмбриона внутри вогнутости своего длинного тела, умолял соперников успокоиться, смягчая их сердца главной темой пьесы «Эти старые глупости». Тем временем объект соперничества, пухлая, крытая марокканской кожей книжка, спокойно лежал между тремя блюдцами крем-карамели.

Следующий пролетающий момент. Кто-то, некая женская фурия, производит гигантский прыжок над перегородами едальных лож. Мисс Филиситата Хиерарчикос, разумеется! Все при-знаки ее утонченно заморского воспитания улетучились в одну минуту! Кого или что можно обвинить за ввержение нежной мамзели в состояние полной бесноватости? Вопрос этот, боюсь, будет оставлен для ответа критикам сего фривольного сочинения, столь неуместного в наш суровый век.

С рвением и искусством чемпиона женской борьбы Филиситата расшвыряла завсегдатаев «Свиной Ножки», из тех, кто попался ей под руку, схватила предмет соперничества, то есть зеленый альбомчик, спрятала его в одной из своих сокровенных зон и выклокотала что-то не очень-то вразумительное: «Вууки-вау-333-иииххххррр!»

Люди, что решили остаться в этом скандальном ресторане в течение получаса, потребного для прочтения нашей книги до последней страницы, будут, разумеется, живо обсуждать тот дикий первобытный и утробный крик утонченной дамы. Иные будут клясться, что уловили в этом до сих пор неслышанном голосе некие пронизывающие спазмы угнетенной женственности, другие заявят, что им послышалось некое влечение к преувеличенному чувству долга, сродни сублимации врожденного эксгибиционизма... Никто, однако, не предложит объяснений к ошеломляющему виду приличной женской особи, летящей верхом па метле над столиками к окну и покидающей «Свиную Ножку» с влачащимся за ней шлейфом стеклянных частиц. Если это не явилось прямой манифестацией социалистического реализма, что же тогда это было? Не дурачьте нас, пожалуйста, разговорами о булгаковских ведьмах!

У-уж как вокруг все заварилось, закипело и забулькало после эскапад Филиситаты! Урсула Урсис кинула контрабас в невинную задницу: «Хватит производить эти вечные глупости своими дурацкими сосисками, Фил! Неужели ты не понимаешь, что история дает нам еще один шанс, чтобы спасти нашу тему?!»

Саксофон Генри взвыл, как сирена тревоги, после чего замолчал, будто упав на поле брани. Урси и Фил бросились вон, держась за руки, не замечая, что и все другие бросились вон, не замечая других, почтенный ГТТ и Ленка Щевич, Джосе-лин и мистер Ясноатаманский, Жукоборец и Хуссако-сан, Тед, Чарльз и Полли, три сестры, Милиция Онто-Потоцка, Глория

Чемберлен, Иен Уоу, а также все «кто-такие», и среди них Розы, Пинки, Монти Блю, а также советские лейтенанты Котомкин, Жмуркин и Лассо.

Не обращая внимания на уличное движение, они помчались вниз по Висконсин-авеню, как будто по взлетной полосе, и некоторые из них уже отрывались от земли. Вслед за ними все шапки из магазина «Шляпы с колокольни» завернулись хвостом, будто торнадо, все часы в компании «Белл» зазвонили и забухали, все чучела на витрине «Коммандер-Саламандер» растворились в экстазе.

Они перелетели улицу Ле (Мастер и Маргарита) и пролетели под эстакадой Уайтхерст, фривэй по направлению к реке — толпа возле дискотеки «Буй» повернулась и подняла руки в прощальном салюте, — потом над беспокойным пегим Потомаком и над Центром Кеннеди — прощальные трубы и фаготы из симфонии «Героика» мистера Бетховена — и т.д., и т.д., и т.д., пока гигантское Яйцо не встало перед ними, все склоны и макушки залиты лунным светом.

К сведению: среди всей этой суеты, увы, никто не заметил плачевного завершения блистательной карьеры советника Черночернова. Кто знает, что — революционный ли шухер вокруг или что-то другое — заставило его супругу Марту вытащить из деревянной кобуры свой заветный, 1917 года, маузер и, испустив дикий крик «Долой монархию!», нацелиться в широкую лояльную грудь своего супруга и попутчика. До самого последнего момента он все не верил, что она всерьез... Дальнейших объяснений, похоже, не требуется.

### « Urbi Et Orbi »

Яйцо вдруг пустилось в медленное и молчаливое вращение «округ своей воображаемой оси. В зловещей тишине внезапно хихикнул Хуссако-сан: „Архитектор, хи-хи, во всем вино-кат!“ „Неуместная ремарка!“ — прорычал в ответ Жукоборец. Бесшумно открылась апертура главного входа. Нарастающий гул вперемешку с вызывающим, хоть и неразборчивым хохотом долетели до ушей нашей компании. Почти невыносимое, никому доселе неизвестное чувство, которое, может быть, превосходило „Арзамасскую тоску“ графа Толстого, сковало конечности.

— Я люблю тебя, Фил! — сказала Урсула.

— Я тоже тебя люблю, Урсула! — гулко резонировал Филларион Ф. Фофановф.

Они взяли за руки и двинулись вперед. И вся толпа, над которой возвышалась задумчивая голова достопочтенного Генри Тоусенда Трастайма, последовала за ними.

В главной внутренней сфере они увидели дюжую фигуру генерала Егорова, его руки в наручниках лежали на копчике.

— Умоляю, братцы, не стреляйте! — воскликнул он. — Товарищи, братья, леди и джентльмены! — он был готов упасть па колени.

— Огряньте взор на охват истории! — почти по-солженицынски взывал он. — Никогда никакие проблемы не решались порохом! Не стреляйте!

Куда стрелять? В кого стрелять? Какого рода артиллерия у него на уме? Взгляд Филлариона последовал за егоровским пальцем, который от копчика показывал на купол Яйца. Там, оказывается, закручивался пандемониум летающих тел и предметов. Определенно присутствовали: миловидный исследователь романтизма Джим Доллархайд, эlegantный аристократический подкидыш Карлос Пэтси Хаммарбургеро, два незнакомых человека с лицами федеральных агентов, хотя и в обрывках парижской одежды, а также Филиситата Хиерарчикос в дерзком бальном платье. Все они двигались с медлительностью жертв кораблекрушения, повисших в глубоких толстых слоях океана.

Некоторые неодушевленные предметы также висели в воздухе, а именно: пара пистолетов, две или три пачки презервативов, один экземпляр «Ста лет одиночества», гребешок, напоминающий космический корабль в галактике перхоти, небольшая бутылочка витамина «Джеритол», три разрозненные штуки обуви, плоская фляжка с предположительно добрым содержимым, если судить по янтарного цвета капле, повисшей рядом. Среди всего этого беспорядка наблюдательный глаз легко мог бы заметить скандальный предмет русского национального наследия, дневник Досты с засушенной хризантемой, недвижно выпадающей из открытых страниц.

В резком контрасте с томным, несколько даже чопорным, хоть и не лишенном грации, движением упомянутых тел и предметов, три чудовища среднего размера просвистывали туда и обратно с заметно бессмысленной энергией.

Предполагаю, что наши читатели не будут слишком удивлены, увидев на следующей ступени нашей быстро завершающейся драмы тело только что скончавшегося полковника Черночернова — Шварценеггера. Оно всплыло торжественно, держа вверх свое лицо и носки

хороших советских ботинок, его галстук трепетал в вертикальном положении; ни дать ни взять, флагман Перестройки!

Почти одновременно вбежали Чарльз, Тед и Полли Обескураж, прыгнули вверх с резвостью циркового трио и расположились под куполом, словно небесные акробаты.

Скованные силой притяжения пока еще превосходили числом плавающих в воздухе, когда Филларион увидел генерала Егорова, в непостижимом сальто протягивающим свои скованные ладони навстречу идущей в наступление ленинистке Марте Арвидовне, с ее революционным маузером. Марта! Умоляю! Не стреляй!

Долой буржуазный либерализм! Выстрел из грозного оружия показался Филлариону лопнувшим мыльным пузырем, и почти немедленно перед ним стала разворачиваться панорама Бородинской битвы 1812 года. Панорама, хоть и дико раскачивалась, как будто ее наблюдали с качелей, все же была полна движения и дыма — сражение в полном разгаре.

Потом поле битвы стало быстро закрываться густеющими облаками, сквозь которые он иногда ловил летящие виды псовой охоты (борзая, борзая, борзая, заяц!) или несколько щебечущих жеманниц в очаровательных шляпках... Потом все исчезло в тучах, и тучи сами исчезли в тучах. Ему показалось, что он мощно вздымается и в то же время стремительно низвергается, не говоря уже о том, что улепетывает во всех возможных направлениях.

Единственное чувство, которое еще поддерживало его целостность, было сострадание. Сострадание его было столь же мощным и всеохватывающим, сколь и морозящим, сверлящим, пронизывающим, выворачивающим наизнанку, толкающим к рыданию и сиянию, ослепляющее и оглушающее чувство сострадания ко всем, кого оставил позади.

Урси, Усри, Урби и Орби, Ю-Эс-Эс-АР, Ю-Эс-ЭЙ, США, Эс-Эс-Эс-Эр...

Потом и сострадание пропало в тучах, и пропадающие тучи пропали в пропадании.

## Отражение И Слияние

Он очнулся в стране тихо дрейфующих льдин, глетчеров, скромно очерченных утесов, кристальных вод и бледно-голубых небес с хвостиками кудрявых и полупрозрачных облаков.

Погода казалась довольно устойчивой, имелась и растительность, хотя не совсем обычная. Вот, например, он заметил исключительную чувствительность вечнозеленого кустарника, агав и диковинных карликовых пальм с мясистыми короткими ветвями: они слегка, хотя вполне отчетливо меняли цвета в зависимости от колебаний его настроения. Впрочем, настроение было довольно стабильное: ему здесь нравилось. Единственное, что его беспокоило, было отсутствие отражения. То и дело он склонялся над прозрачными водными пустотами и взирал на поверхность, гримасничая и жестикулируя без всякого толку. Никакого отражения не возникало в ответ, даже и тени собственной он ни разу не заметил. Однажды ему показалось, что он поймал свое отражение между двумя скалами, на одной из которых он сидел, пережевывая свои мысли (мы забыли добавить, что он привык также пожевывать ломтики листьев агавы). Увы, его отражение на поверку оказалось всплывшим дюгоном. Он или она (определение пола всегда суцкая проблема с дюгонями) вынырнул из глубин, выпустил розовые пузыри и струи воды и спросил: «Привет, как дела?»

Не дожидаясь ответа, дюгонь мощно всплеснулся и исчез.

С этого момента довольно многие обитатели этой отдаленной территории стали появляться то тут, то там, капризные лемуры, чопорные павлины, забавные медведи-коала, жеманные кенгуру, некоторые довольно объемные тритоны... Однажды приблизилась благородных кровей, хоть и несколько застенчивая гагара. Она села рядом с ним на краю утеса, покачивая крылом и избегая его взгляда, будто юная девушка впервые в опере.

Не без спазма тоски он заметил, что птица также не отбрасывает тени и не отражается в воде. Взглянув на ее миражно подрагивающий плюмаж, он внезапно почувствовал острое желание амальгамации.

— Позвольте мне сказать, сэр, — сказала гагара голосом, дрожащим от эмоций. — Позвольте мне только сказать вам, что я влюблена в вашу длинную шею!

— В мою длинную шею? — удивился он.

— Да-да... а также и в ваши крылья, и в ваш клюв, радость моя! Если бы вы только знали, как я жажду... ох, как стыдно... амальгамации... слияния с вами, сэр...

Донельзя пристыженная гагара спрятала свою грациозную головку под левое крыло. Фламинго, то есть предмет гагариной страсти, потянулся всеми своими длинными конечностями, предвкушая высшее наслаждение.

— Перед тем как мы сольемся, — прошептал он, — вы должны знать, что я обожаю ваши перья!

— Мои перья? — удивленное круглое око выглянуло из-под крыла гагары.

Око... око... око... око... око... око... о, неземные восторги, фузия соков и чувств!

Впоследствии фламинго случалось амальгамировать свои соки и чувства с другими обитателями страны дрейфующих льдин, то с лемуром, то с коала... даже иные объемистые тритоны не обделены были его вниманием, однако он никогда не испытывал с другими того состояния полной завершенности, то есть почти полного саморастворения, какое он испытывал с гагарой.

Рано или поздно большинство обитателей перезнакомились друг с другом. Доминировали чувство взаимной вежливости и несколько прохладные утонченные манеры. Они много говорили о разных абстрактных вопросах, однако тема отражения или, вернее, отсутствия отражения была их главной заботой.

Однажды через поле зрения всех обитателей прошел авианосец «Кашей Бессмертный». Он тоже был лишен отражения, однако антенны радаров грозно вращались. Все проводили боевую единицу задумчивыми взглядами, понимая, что это уходит, не желая сдаваться, Эпоха Торжеств.

В другой раз все они, или, по крайней мере, персон тридцать, собрались на одной из многих льдин, что циркулировали в этой части мира. Уплотнившись на малой льдине, они напоминали экзотическую фруктовую нашлепку на порции мороженого «хаген-датц».

— Ну, что ж, — произнес один, — значит, можно рассматривать вопрос отражения как самый смысл существования?

— Надо уметь отличать фальшивое отражение от подлинного, — сказал другой. — В то время, как первое не имеет никакого отношения к целям вечного искусства, последнее прокладывает путь к сияющим вершинам духовной революции.

— Должен признаться, — вздохнула третья персона, — что моя тяга к слияниям порой производит препятствия перед моим стремлением к отражению...

Внезапно ярчайший луч, ярчайший за все времена луч опустил на них из облака, и они увидели свои отражения на поверхности вечных вод. Мгновение или больше, то есть всегда, они могли видеть себя как Филлариона Ф. Фофановфа, Урсулу Усрис, Джима Доллархайда, Генри Трастайма, Джоселин Трастайм и Ленку Щевич, Каспара Свингчэара, полковника Черночернова и генерала Егорова, Марту Арвидов-ну, Филиситату Хиерарчикос, Карлоса Хаммарбургеро, Алика Жукоборца, Доктора Хоба и старагента Брюса д'Авалан-ша, и прочая, и прочая, вы, конечно, можете их всех назвать, дорогой читатель, не говоря уже о живописном трио, — Чарльз, Тед и матушка Обескураж, — а затем они вдруг увидели отражение своего далекого дома, города Вашингтона-Нашингтона, дистрикт Коломбины.

— Из-за чего вообще-то был весь этот шухер? — спросил голос с японским акцентом. — Еще год назад я опубликовал эти записки Достоевского в журнале «Рыболов Хоккайдо»...

— Экая опять неуместность! — прогудел голос с петербургским акцентом.

Картинка исчезла, и со вздохом огромного облегчения они приступили к своей финальной и всеобщей амальгамации.

*Писался с 1986 по 1989 в городе Вашингтоне, на островах Шелтер и Корфу, в крепости Дубровник и снова в городе Вашингтоне*

## **Венедикт Ерофеев**

### **Об авторе:**

***Интервью Венедикта Ерофеева. Сумасшедшим можно быть в любое время.***<sup>98</sup>

*— Родился в 1938 году, 26 октября. Родители были грустная мамочка и очень веселый папочка. Он был начальник станции. Он все ходил и блядовал, ходил и блядовал, и, по-моему, кроме этого, ничем не занимался.*

- А мамочка?
- А мамочка переживала.
- Тут запереживаешь.
- Еще бы, ебена мать. И вот папенька блядовал, блядовал, блядовал, блядовал и доблядовался до того, что на него сделали донос. И папеньку в 38-м году, когда я родился, только и видели. И действительно, папеньку мы увидели только в 54-м. Естественно, по 58-й статье. Припомнили ему, что он по пьянке хулил советскую власть, ударяя кулаком об стол.
- Честно говоря, трудно представить, что были люди, которые в открытую ругали советскую власть.
- А почему бы и нет — на этой маленькой станции, да еще в поддании. На станции Пояконда в районе Полярного круга.
- А куда ж его сослали из-за Полярного круга?
- В том-то и дело — в Крым.
- Действительно в Крым?
- Шутка. Его сослали всего-навсего на 12 или там на 10 тысяч километров к востоку.
- Значит, ты рос безотцовщиной? И вы так с мамой и прожили на этой крохотной станции?
- Нет, меня перетащили в детский дом г. Кировска Мурманской области, и там я прозябал.
- А маменька-то куда делась?
- Маменька сбежала в Москву.
- И тебя бросила?
- Да.
- А с какого момента ты себя помнишь?
- В средней школе я уже писал. Сочинения.
- А самые первые в жизни ощущения?
- Самые первые воспоминания почему-то самые траурные. Покойная мать сказала всем старшим братьям и сестрам — подойдите к кроватке и попрощайтесь с ним. Со мной то есть.
- Почему?
- А все — врач. Он сказал: пиздец. Очень, очень умный врач. Это был 41-й год, значит, мне было два с половиной года. Очень умный врач.
- Значит, в школе ты учился в детском доме. И, конечно, самые светлые воспоминания?
- Ни одного светлого воспоминания. Сплошное мордобитие и культ физической силы. Ничего больше. А тем более — это гнуснейшие года. 46—47-й. В сорок седьмом, например, доходили слухи, что в Мурманске мясо продают на рынке, но в этом мясе находили человеческие ногти.
- Я помню, правда, это уже было в 50-х и в Москве, так вот, ходили слухи, что из детей варят мыло.
- Короче, все это невыносимая мудозвонщина, и я твоим слухам не удивляюсь ничуть.
- Веничка, а амнистию 1953 года ты никак не запомнил?
- Очень запомнил, потому что я в это время учился в 8-м классе, а весь Кольский полуостров был переполнен этими лагерями, одним словом, мы большие видели колючей проволоки, чем чего-нибудь другого. И до 10-го класса. И вдруг их отпустили. И тут скверный, дурашливый народ пустил слухи... и в самом деле, вот эти отпущенные на волю — как их тогда называли, бандиты — они действительно вели себя не лучшим образом, но этот слух был настолько искусственно раздут, чудовищно раздут в 53-м году, я тогда переходил из 8-го класса в 9-й, вот это было время на Кольском полуострове совершенно чудовищное. Во всяком случае, мать нас загоняла в дом с наступлением сумерек, а ночи там осенью наступают сам понимаешь когда.
- Значит, мамочка к тому времени вернулась?

— Вернулась. Я в детском доме учился до 8-го класса.  
— И как ты ее принял?  
— Ну что, мать. Иначе она не могла.  
— Веня, а ты в детдоме был среди тех, кого били или — кто бил?  
— Я был нейтрален и тщательно наблюдателен.  
— Насколько это было возможно — оставаться нейтральным?  
— Можно было найти такую позицию, и вполне можно было, удавалось занять вот эту маленькую и очень удобную позицию наблюдателя. И я ее занял. Может быть, эта позиция и не вполне высока, но плевать на высоту.  
— А сочинять ты начал в детдоме или уже в школе?  
— Начал еще до поступления в школу.  
— И что же ты в таком нежном возрасте сочинял?  
— «Записки сумасшедшего».  
— Кто же был сумасшедшим?  
— Ну, я, конечно.  
— Что — в шесть лет?  
— А сумасшедшим можно быть в любое время.  
— Каково же это — в шесть лет ощущать себя сумасшедшим?  
— Очень интересно.  
— То есть ты себя так ощущал или создал такую маску?  
— Разумеется, маску. К сожалению, эти глупые матушки — они ничего не сохраняют. Вот молодец моя сестра Тамара Васильевна, которая сохранила все мои письма с 55-го года до 88-го. Вот это она молодчага. А первая теща вообще ставила на мои рукописи сковородки с разной хуеенью.  
— Веня, а ты не можешь сейчас вспомнить содержание этих записок?  
— Это знает только одна моя матушка. Убей меня бог, не помню. Первое осмысленное писание началось с 56-го года, тогда, когда я кончал 1-й курс МГУ. Вот тогда началось то, что я бы сейчас немножко уделал, немножко бы...  
— А оно сохранилось?  
— Сохранилось. Но я попросил человека, у которого это все лежит — это пять толстых тетрадей, — чтобы он до моей кончины не издавал.  
— Хорошо ли это, Ерофеев?  
— Хорошо. Потому что там так много того, что не годится, так много непечатного, если так, по-русски говорить...  
— Непечатного по языку или по стилю?  
— Все эти дураки — Алешковские, Лимоновы — они плетутся в хвосте, да причем еще в двадцатилетнем хвосте...  
— А кто-нибудь, кроме того друга, это читал?  
— Нет, не читали. Однокашники, правда, читали...  
— То есть нельзя сказать, что это оказало какое-то влияние на Лимонова и Алешковского?  
— Упаси бог! Просто это хронологически опережает, но никакого влияния...  
— Вернемся назад. После 7-го класса ты уже учился в обычной школе?  
— С 8-го по 10-й я уже учился в общей школе.  
— Большая разница?  
— Большая. Но я ее одолел. Представь себе, у нас был 10-й «А», и 10-й «Б», и 10-й «В», и 10-й «Г». Я учился в 10-м «К» и единственный из всех десятых получил золотую медаль. У нас были дьявольски требовательные учителя. Я таких учителей не встречал более, а тем более на Кольском полуострове. Их, видно, силком туда загнали, а они говорили, что по зову сердца. Мы понимали, что такое зов сердца. Лучшие выпускники Ленинградского университета приехали нас учить на Кольском полуострове. Они, блядьюги, из нас

вышибали все, что возможно. Такой требовательности я не видел ни в одной школе потом.

— Может быть, это и дало тебе такую образованность?

— Возможно, возможно.

— Ерофеев, ты — широко образованный человек. Я сомневаюсь, чтобы у родителей была хорошая библиотека, сомневаюсь, что и в детдоме она была, и в школе...

— Я наблюдал за своими однокашниками — они просто не любят читать. Ну вот, скажем, есть люди, которые не любят выпивать. Поэтому выделиться там было нетрудно, потому что все были, как бы покороче сказать... ну, мудаки. Даже еще пониже, но — чтобы не оскорблять слуха... Таков был основной контингент. А когда я кончал 10-й класс, в это время на Ленинских горах воздвигли этот idiotский монумент на месте клятвы Герцена и Огарева. И я решил туда к нему припасть. Я Герцена до сих пор уважаю...

— За что же — не за то ли, что он был одним из диссидентов?

— Я когда читаю переписку Маркса с Энгельсом, всякое дурное слово об Александре Герцене мне прямо душу щекочет. Я уважаю его не за диссидентство, а за то, что он — блестящий мыслитель и блестящий человек, и его любят все, в этом сходятся все, начиная от Кайсарова до Аверинцева, от Айхенвальда до Эйхенбаума. Если в отношении Радищева есть маленький спор, то Александр Герцен не вызывает возражений. И правильно делает, что не вызывает.

— И у тебя — при твоём критическом уме?

— И у меня не вызывает. Я вот недавно прочел второй том, настолько молодчага парень, что разеваешь... все разеваешь.

— А как же Петр Чаадаев?

— Что говорить о Петре Чаадаеве, когда его только-только издали. А этот мудак Урнов говорит, что есть произведения, которые набальзамированы долготоянием, неиздаваемостью. Он, мудак, хотя бы взял в образец Радищева или Александра Грибоедова, Петра Чаадаева — неужели они настолько живучи, что набальзамированы? Долгим запретительством — как он говорил: что есть произведения, набальзамированные долгим запретительством, а иначе их бы не читали.

— Как ты относишься к такой поразительной в российской истории вещи, что такой верноподданный человек, как Александр Грибоедов, стал выдающимся сатириком? Написал такую блистательную сатиру на весь строй, как «Горе от ума»?

— Мало того: он еще дружил с самыми подоночными людьми в России, и это, как говорит советская власть, ни для кого не секрет. Ни для кого не секрет, что он был большой друг Николая Греча и Фаддея Венедиктовича Булгарина.

— Что это, свойство таланта — диктовать пишущей руке, даже несмотря на убеждения?

— Черт его знает.

— А каково жить в России с умом и талантом?

— Можно. Можно тут жить. Если приложить к этому усилия. То есть поменьше ума выказывать, поменьше таланта, и тогда ты прекрасно выживешь. Я это за собой наблюдал, и не только за собой.

— Как же? Насколько я знаю, ты никогда на продажу не шел.

— Еще бы!

— А искушения были у тебя?

— Ни разу. Со мной этого не случилось. Я как раз из числа мудаков неискушаемых и неискушенных.

— Хорошо. Не покупали. Но напугать-то пытались. Я это знаю определенно.

— Ну, мало ли что. Это было в 50-х годах.

— И в 70-х было. Помнишь, ты скрывался от призыва в армию...

— Не в этом дело. Весна 62-го года. Приходит человек и говорит: «Вы Ерофеев?» — «Да». — «Вам нужны пистолеты?» Представь, город Владимир. Я лежу в похмельюге. Мне надо похмелиться во что бы то ни стало, а тут этот мудака спрашивает: «Так вам нужны пистолеты?» Я говорю: «На кой ляд мне ваши пистолеты! Дайте мне грамм пятьдесят похмелиться, а потом поговорим о пистолетах». А он не отстает: «Нет, вы скажите, вы Ерофеев или не Ерофеев?» — «Ерофеев, мать вашу!» — «Ага. Значит, вам нужны пистолеты».

— Веничка, а как ты оказался в МГУ?

— Как только я кончил 10-й класс и как только мне вручили из... сколько там было 10-х классов, хрен его упомнит, и я из 10 «К» получил золотую медаль, вот и двинул, и впервые в жизни пересек Полярный круг, только в направлении с севера на юг... И вот я на семнадцатом году жизни впервые увидел высокие деревья, коров увидел впервые...

— Что же у вас, кроме зэков, там водилось?

— Кроме зэков, ничего не водилось... А тут увидел я корову — и разомлел. Увидел высокую сосну и обомлел всем сердцем... И вот 55-й год. Там с медалью было только собеседование, и этот мудака так меня доставал, но достать не смог. Я ему ответил на все вопросы, даже которые он не задавал. И он показал мне на выход. Что ему еще оставалось? А этот выход был входом в университет. На филологический.

— А как же потом ты во Владимире оказался?

— Это уже нескромный вопрос.

— Насколько нескромный?

— Потому что между МГУ и институтом был кочегаром, приемщиком посуды, милиционером.

— В таких случаях обычно пишут стюардом и репортером.

— До этого не дошло.

— А писать осознанно начал в МГУ?

— Писать начал в университете. И отличные вещи...

— За что и был изгнан?

— Нет, нет! Там не было никакой скверны, никакой политики... была какая-то иная струя, которая будоражила всех...

— А кто читал это?

— Читали мои знакомые, и этого довольно.

— А из-за чего выгнали?

— Я просто перестал ходить на лекции и перестал ходить на семинары. И скучно было, да и незачем. Я приподнимался утром и думал, пойти на лекцию или семинар, и думаю: на хуй мне это надо, — и не вставал и не выходил. То есть у меня было... ну, не созерцательная система...

— Скажи, а ты не вставал от самопогружения или после вчерашнего?

— Какое там переживание вчерашнего! Просто я, видимо, не вставал, потому что слишком вставали все другие. И мне это дьявольски не нравилось. Ну, идите вы, пиздюки, думал я, а я останусь лежать, потому что у меня мыслей до хуища.

— А вот эта знаменитая песня «Проснись, вставай, кудрявая...» — она тебя не будоражила?

— Будоражила. Потому что я очень люблю Дмитрия Шостаковича.

— И все равно не вставал?

— И все равно — брал себя в руки и не вставал.

— За это и был вышиблен — сколько же можно не вставать?!

— Вышиблен был в основном военной кафедрой. Я этому подонку майору, который, когда мы стояли более или менее навтыяжку, ходил и распинался, что выправка в человеке — это самое главное, сказал: «Это — фраза Германа Геринга: «Самое главное в человеке — это выправка». И между прочим, в 46-м году его повесили».

— А насколько к моменту вышибания из Университета была велика в народе твоя популярность?

— К тому моменту она ограничивалась двумя-тремя комнатами, и, честно говоря, отнюдь не 19 государствами.

— Не искушали ли тебя? Не нашептывали, ли, что коли пишешь, то надо печататься?

— Нет. Среди них были такие, вроде чуть-чуть видящие, вроде Володи Муравьева — опять же мой однокурсник.

— То есть удивительно приличная у вас подобралась публика?

— Да. Немножко на царскосельскую, на кюхельбекерскую такую, в несколько заниженном варианте. Я там представлял что-то вроде барона Дельвига.

— То есть ты был такой же толстый?

— Нет, наоборот. Я не был толст, а во всем остальном...

— А скажи, вот мы сейчас вздыхаем, что не осталось таких понятий, как честь и совесть. В этом вашем братстве были такие понятия?

— Вот в том-то и дело. Нас и презирали за то, что в нас уживались... вся эта ненавистная братия — я забыл их фамилии, и, значит, их фамилии ни к чему. Никто и никогда не вспомнит их фамилии. Все остальные смотрели на нас, как на зачумленных детей.

— То есть именно на присутствие в вас этих понятий?

— Хотя бы поэтому.

— Муравьев, кто еще — может быть, кого еще вспомнишь?

— Они немного переродились... ну, хотя бы Катаев... не из тех Катаевых.

— Хорошо. Произошло изгнание из МГУ широко известного в узких кругах писателя. Как-то это на общественном мнении отразилось?

— Ничуть. Я ушел тихонько, без всяких эффектов. Вот спустя пять лет я уходил из Владимирского, каждый человек, который со мной встречался, задавал вопрос, где продается водяра, — в этом магазине есть, а в этом нет — этот человек подлежал немедленному исключению из пединститута. Вот до какой степени я был опасен, а всего-навсего я говорил то, что это — пародия на «Москва — Петушки». Я в сущности говорил только о водяре. Решительно только о водяре и больше ни о чем. Ну почему к книге придрались? Почему ее изымали при всяком обыске? Немыслимые люди эти большевики.

— Веничка, а что делал ты после исхода из Университета, когда тебя, естественно, выкинули из общежития?

— Я с тех пор сменил примерно 12 профессий.

— А где жил?

— Господи, жил в Тамбове, в Ельце, в Брянске — это можно называть все города. И золотое кольцо, и не золотое.

— То есть из Москвы ты уехал сразу?

— Ну, естественно. Короче: я бы так и исцвел на Украине в 59-м году, если бы мне один подвыпивший приятель не предложил: вот перед тобой глобус, ты его раскрути, Ерофеев, зажмури глаза, раскрути и ткни пальцем. Я его взял, я его раскрутил, я зажмурил глаза и ткнул пальцем — и попал в город Петушки. Это было в 59-м году. Потом я посмотрел, чего поблизости есть из высших учебных заведений, а поблизости из высших учебных заведений был Владимирский пединститут.

— И поступил с ходу?

— Еще бы! А золотая медаль?

— А собеседование?

— Там его практически не было. Какое там, на хуй, собеседование.

— Теперь расскажи: как же ты разложил Владимирский пединститут настолько, что даже имя твое стало запретным?

— Да. Они сейчас извиняются. Мне одинаково смешно вот это вот — извинения Бельгии перед глупой оплошностью Голландии... Почему-то Бельгия приносит извинения за

Голландию. Вот точно так же мне смешно, когда владимирская газета «Комсомольская искра» печатает обо мне более или менее мутные биографические данные, хотя та же самая газета весной 1962 года требовала выдворения меня за пределы города Владимира и Владимирской области навсегда. Всякий человек, встречающийся с Венедиктом Ерофеевым, подлежит немедленному выдворению из Владимирского государственного педагогического института имени Лебедева-Полянского. И вообще с территории.

— То есть ты попал в персоны нон-грата?

— Хорошо бы еще в персоны нон-грата. То есть человек, который кивнул бы мне при встрече, уже сам стал бы персоной нон-грата. А хрен ли обо мне говорить.

— Чем же ты их все-таки так достал? Все же Владимир близко к столице. Что они так напугались-то?

— Вот этого я не знаю. Я немножко их понимаю. Все-таки, когда я стал жениться, приостановили лекции на всех факультетах Владимирского государственного педагогического института им. Лебедева-Полянского, и сбежалась вся сволота. Они все сбежались. Потом они не знали, куда сбежаться, потому что не знали, на ком я женюсь — опять же было неизвестно. Но на всякий случай меня оккупировали и сказали мне: «Вы, Ерофеев, женитесь?» Я говорю: «Откуда вы взяли, что я женюсь?» — «Как? Мы уже все храмы... все действующие храмы Владимира опоясали, а вы все не женитесь». Я говорю: «Я не хочу жениться». — «Нет, на ком вы женитесь — на Ивашкиной или на Семаковой?» Я говорю: «Я еще подумаю». — «Ну, мать твою, он еще думает! Храмы опоясали, а он еще, подлец, думает!» Это апрель 62-го.

— Но ведь времена-то на дворе еще либеральные.

— Какие либеральные! Вот опять я повторил этого мудака, не знаю, жив он или нет, лучше бы не жив. Вот этот декан филологического факультета, который отсидел... сколько он отсидел — я забыл, но во всяком случае не меньше 15 лет отсидел, сволота. И мне в лицо заявил: «Я очень сожалею, Ерофеев, что сейчас не прежние времена. Я бы с вами обратился гораздо более круто». Вот тут-то я понял, с кем имею дело — с каким вонючим дерьмом, и...

— Веничка, и все же чем ты их так напугал?

— Понятия не имею. Я лежал себе тихонько, попивал. Народ ко мне... в конце концов получилось так, что весь институт раскололся на две части. Вот так, если покороче, то есть, как говорили девушки, тогда одиозно очень поверхностные, называл вещи своими именами, весь институт раскололся на попов и на... Там было много вариаций, но в основном на попов и комсомольцев. Этак я оказался во главе попов, а там глав-зам-трампамам оказался во главе комсомольцев моим противником, и у нас даже выходило... «Подходите, — говорил человек (не помню фамилию), — подходите, только без рукоприкладства». За мной стоит линия, за ними тоже линия. Мы садимся, это я предлагаю садиться за стол переговоров, чтобы избежать рукоприкладства и все такое. Они говорят: давай, садимся. И вот мы сели и пили сначала сто грамм, потом по пятьдесят, потом по сто пятьдесят, потом... и понемногу, ну, набирали...

— А что же вы пили, Веничка?

— Не помню. Какую-то бормотуху. Ну, во всяком случае, вырабатывали какую-то общую терминологию...

— Попы с комсомольцами?

— Попы с комсомольцами сели тихонько... Ну, одним словом, они занимались делом. А я сидел и чувствовал себя человеком, который предотвратил кровопролитие.

— Признаться, трудно представить тебя в роли предводителя религиозной общины. Поэтому мне представляется, что название «попы» следует понимать достаточно условно.

— Конечно, конечно. Потом вот, например, характерно — в том же 62-м году девочка, которая была в разряде «попов», — я сидел в саду и дышал воздухом, — а она ко мне

подскочила и сказала: «Ой-ей-ей, я сейчас убегаю, потому что, если меня увидят, то все — мне в институте не быть». Так что тут все очень запутанно.

— Писал ли ты, Веничка, во Владимире?

— Еще как писал. Даже наоборот, когда поступил во Владимирский пединститут, мне сказали: «Венедикт Васильевич, если вам не на что будет жить, то у нас есть «Ученый вестник» Владимирского пединститута, и мы вам охотно предоставим страницы». Но я, как только охотно сунул им в эти страницы всего две статьи о Генрике Ибсене, они заявили, что они методологически никуда не годятся.

— А что значит — методологически?

— Я и не стал спрашивать. Еще бы я стал спрашивать, ебена мать! Они сказали: это опять же никуда не годится. Неужели человек не понимает, чего он горюдит?

— А прозу писал?

— Тогда — нет. Писал тогда исключительно о скандинавах, потому что я был тогда ослеплен вот этой скандинавской моей литературой. И только о ней писал. — Отчего же ты был ими так очарован?

— Потому что они — мои земляки.

— А кто конкретно из скандинавов?

— Ну как это — кто конкретно? Опять же Генрик Ибсен, Кнут Гамсун в особенности. Да я, в сущности, и музыку люблю только Грига и Яна Сибелиуса. Тут уже с этим ничего не поделаешь.

— Когда же ты впервые стал писать беллетристику — после тех тетрадей? Что — был большой перерыв?

— Нет, не большой перерыв, просто... зимой семидесятого, когда мы мерзли в вагончике, у меня явилась мысль о поездке в Петушки, потому что ездить туда было запрещено начальством, а мне страсть как хотелось уехать. Вот я... «Москва — Петушки» так начал. И примерно в последних числах января, а кончил примерно второго-третьего марта.

— А между тетрадями и «Петушками» было еще что-нибудь?

— Да, ну, конечно, было. Вот это... черт, ее надо восстановить и возделать...

— Рукопись хоть существует?

— Вот часть рукописи доставили люди из Гуся-Хрустального.

— Это тоже такая же грустная...

— Отнюдь. Мне она не нравится, и правильно сказала одна очень такая литературная женщина, что это-таки подделка под Пильняка. Вот ведь что. А как это — подделка под Пильняка, которого я до сих пор не читал ни строчки?

— По-моему, Ерофеев не может ни под кого подделаться, так же как никто не может подделаться под Ерофеева. Как хоть называется?

— «Благая весть».

— Веничка, литературные дамы читают, а широкие круги миролюбивой общественности, до сих пор — нет. Хорошо ли это?

— Ну, ее надо получше обделать, потому что там много... как бы это... кто умеет выразиться помягче...

— А в каком году ты ее написал?

— В 63-м.

— А между 63-м и 70-м было что-нибудь?

— Вот тут был провал. Я слишком жил: кино, бабье и эт цетера.

— Хорошо, «Петушки» написаны. Как же они стали известны народу? Откуда народ вокруг тебя появился?

— Ну вот, допустим, Слава Лён. Я, допустим, сижу во Владимире в окружении своих ребятнишек и бабенок, и вдруг мне докладывает Вадя Тихонов: «Я познакомился в Москве с одним таким паразитом, с такой сволотой». Я говорю: «С каким паразитом, с какой такой сволотой?» Он говорит: «Этот паразит, эта сволота сказала мне, — то есть

Ваде Тихонову, — что даст... уплатит 73 рубля (почему 73 — непонятно) за знакомство с тобою». То есть со мною. Ей-богу.

— То есть Лён прочел «Петушки».

— Ну да. Я удивился, а Лёну Губанов сказал: «Вот если Вадя Тихонов, который хорошо с ним знаком...» — вот тогда он и залепился со своими 73 рублями.

— А ты еще не был тогда знаком со смогистами?

— Абсолютно!

— То есть ты как бы в безвоздушном пространстве существовал?

— Почему в безвоздушном?

— Ну, если брать эту московскую культурную среду, ты о ней ничего не знал?

— Об этом понятия не имел. И тут мне Владислав Лён предложил 73 рубля за одно только знакомство.

— И благодаря ему ты стал известен в мире?

— Не благодаря ему. Благодаря совсем другим людям, которые сейчас уехали. Эти люди, которым я обязан, живут теперь в Тель-Авиве... и так далее.

— Лён утверждает, что это он передал «Петушки» на Запад и благодаря ему они были опубликованы.

— Как всегда, врет.

— Раз они за кордоном и им ничего не грозит, то не грех их и упомянуть.

— Отчего бы, действительно. Во-первых, это Виталий Стесин, потом Михаил... поэт, который при всех регалиях приходил ко мне в больницу... Михаил...

— Веня, а почему на твоей афише (вечера в ДК МГУ) написано: 20 лет творческой деятельности. Ведь гораздо больше.

— Плевать! Пусть что пишут, то и пишут. Пусть напишут: «Десятилетие графа Толстого»... Поэт... женищина очень хорошая... опять забыл фамилию... надо бы спросить у девки. Михаил Генделев и Майя Каганская.

— И впервые было опубликовано в израильском альманахе...

— «Ами».

— А ты-то знал, что готовится публикация?

— Мне как-то сказал Муравьев году в 74-м: «А ты знаешь, что, Ерофеев, тебя издали в Израиле». Я решил, что это очередная его шуточка, и ничего в ответ не сказал. А потом действительно узнал спустя еще несколько месяцев, что действительно в Израиле издали, мать твою, жидяры, мать их!

— В 72-м издали?

— В 73-м.

— А как складывались материальные отношения с издателями за границей — ведь потом издавали еще во многих странах?

— Это действительно очень больной вопрос. Например, Англия и Соединенные Штаты... Два издательства в Соединенных Штатах не платят ни копейки по той причине, что они купили — Соединенные Штаты — они купили у Британии... А Британия купила у Парижа... То есть никто никому не должен, а я всем немножко должен. Но не должен никто, это уж точно. Я так понял по их действиям.

— Замечательно! А вот есть такая организация — называется ВААП.

— Она есть, но ее вот эти деяния не распространяются. Только на страны Варшавского пакта, а вот на страны НАТО не имеют даже малейшего влияния.

— Ерофеев, погоди. Эта организация дерет со своих клиентов жуткие проценты и могла бы нанять самых лучших адвокатов. Кто-нибудь из них к тебе обратился: «Давай, Ерофеев, мы будем защищать твои права»?

— Ни разу не было ко мне такого обращения. Было только в случае с Венгрией и с Болгарией.

— Здесь они сами обратились?

— Это уже по пьесе.

- Ерофеев, а как ты сам отнесся к своей всемирной известности?
- Какой провокационный вопрос.
- Нормальный вопрос, Веня, нормальный.
- То ли еще будет.
- Ощущаешь ли ты себя великим писателем?
- Очень даже ощущаю. Я ощущаю себя литератором, который должен сесть за стол. А все, что было сделано до этого, это — более или менее мудозвонство.
- Ерофеев, а если бы тебе предложили определить свое место в пантеоне великих, куда бы ты себя поставил — между Гомером и Эпиктетом или...
- Между Козьмой Прутковым и Вольтером.
- А кто все-таки впереди?
- Козьма Прутков.
- Хорошо. Вернемся в 69-й год на кабельные работы. Ерофеев пишет «Петушки». Делился ли ты с коллективом? Давал ли читать бессмертные страницы товарищам по профессии и одобрили ли бы они твои писания?
- Наоборот. И хорошо, что я не давал им этих записок. Они говорили: «Ты что, Ерофеев, хочешь в институт поступать — все равно ни хуя, ни за что не поступишь! Сейчас туда только по блату берут. Только по блату. Только по блату». А я свесился с верхней полки и говорю: «Ну неужели только по блату?» А они мне говорят: «То-о-олько по блату!» Вот как обстояло дело.
- А насколько биографичны бессмертные твои записки?
- Почти...
- Скажи, ты действительно никак не мог попасть на Красную площадь, а всегда попадал на площадь Курского вокзала?
- Да-да-да! И между прочим, вот меня обычно спрашивают об этих сценах в «Петушках», вот хотя бы с этим дурачком контролером. А ведь действительно, я ведь стоял зимой, зимой трясся весь от холода, стоял, и у меня была в грудном кармане эта самая бутылка... бутылка... ну, известно чего. Бормотуха — 0,8. И когда вошел контролер, один контролер сразу последовал туда, а этот остановился и сказал: «Ва-аи билетик! Ва-аи билетик!» Я говорю: «Нет у меня билетика. Нет у меня билетика». И он тогда внимательно присмотрелся, а я тогда неосторожно поставил эту свою 0,8... «А это — что у тебя?» Я говорю: «Да это — так просто». — «Это как то есть так? А ну-ка вынь!» Я вынул, и он тут же немедленно сделал: бум-бум-бум-бум-бум-бум. И мне протянул: «Езжай дальше, молодой человек». Как они не понимают, из чего делаются литературные произведения? То есть вот из такого... такой малости.
- А правда ли, что ты, будучи бригадиром на кабельных работах, ввел пресловутые графики?
- Еще как! Это Вадим Тихонов — свидетель.
- Ерофеев, я знаю, что одно из твоих бессмертных творений ты потерял то ли в электричке, то ли еще где. Может быть, можно попытаться отыскать?
- Едва ли. Потому что то ли одна, то ли две МГУ-шные экспедиции ездили по линии Москва — Петушки с тем, чтобы найти, и ничего подобного они... Они смотрели и по левую, и по правую сторону очень внимательно и ничего не обнаружили.
- А что это было за произведение?
- Ну, я вообще не люблю называть жанры. Ну, просто — «Шостакович».
- Не биографическое же эссе?
- Еще бы! И то — Шостакович там присутствовал только самым косвенным образом. Там как только герои начали вести себя, ну... как сказать... Вот, у меня этот прием уже украден — как только герои начали вести себя не так, как должно, то тут начинаются сведения о Дмитрие Дмитриевиче Шостаковиче. Когда родился, кандидат такой-то, член такой-то и член еще такой-то Академии наук, почетный член, почетный командор легиона. И когда у героев кончается этот процесс, то тут кончается Шостакович и

продолжается тихая и сентиментальная, более или менее, беседа. Но вот опять у них вспыхивает то, что вспыхивает, и снова продолжается: почетный член... Итальянской академии Санта-Чечилия и то, то, то, то... И пока у них все это не кончается, продолжается ломиться вот это. Так что Шостакович не имеет к этому ни малейшего отношения.

— А вдруг откликнется тот, кто это нашел? Расскажи подробнее, когда это было и как это выглядело?

— Это — две черные тетради и четыре записные книжки.

— А в чем все лежало?

— Все это было в сетке. Я могу назвать точно — вот это знойное самое лето. 72-й год.

Знойное лето под Москвою. Я когда увидел пропажу, я весь бросился в траву, и спал в траве превосходно. Представь себе, что это было за лето, когда можно было ночевать в нашей траве.

— А почему «Шостакович», а не «Хренников»?

— Тихон Хренников — очень хороший человек.

— Чем же?

— Мне у него нравятся ранние песни.

— Одна или все?

— Все.

— Тогда действительно — хороший человек.

— Очень славный малый.

— Старый хрен Тихонов и молодой Тихон Хренников — очень старая шутка.

— Причем, заметь, мною же изобретенная в 56-м году.

— Ладно. Хрен с ним, с Хренниковым. Давай лучше вспомни поточнее: какого цвета была сетка? Может быть, вспомнишь?

— Трудно установить, потому что сетка была не моя, а была моего знакомого из Павлова-Посада. И потом там были две бутылки, что и соблазнило.

— Бормотухи?

— Да. Что и соблазнило тех, которые покусились. Я бы на их месте поступил бы гуманнее.

— Не знаю, как ты на их месте, а я бы...

— Я бы тоже, пожалуй. Я бы тоже.

— Ты оставил в электричке?

— Господи, откуда мне знать? Я проснулся в электричке с совершенно угасшим светом, и я сидел один в вагоне, и причем в тупике.

— А что же ты пил, Веничка, что дошел до такого?

— Еб твою мать — он задает мне вопросы какие! Он ведет допрос, как самый неумелый из следователей.

— Как это? Я веду допрос по всем правилам. Как завещали отцы и деды.

— Хуево ты ведешь допрос.

— Пил ли ты в этот день коньяк?

— Еще как!

— А зубровку?

— Пил и зубровку.

— Зверобой и охотничью, и полынную, и померанцевую, и кориандровую... весь ностальгический набор.

— Очень жалко «Дмитрия Шостаковича», потому что, когда я писал, действительно спрашивал сосед: «Ерофеев, ты чего опять какую-то блядь приводил?» Я говорю: «Какую же это я приводил блядь?» — «Ну как же, ты всю ночь смеялся!» Я говорю: «Почему же, ну... я просто так...» — «Я человек бывалый. Я человек бывалый. Так я тебе и поверил, так я тебе и поверил, что ты — просто так. Опять какую-нибудь блядь приволок».

— А где ты жил тогда?

- На станции Электроугли.
- Снимал угол?
- Какой там — снимал угол, когда крысы бегали из угла в угол.
- Значит, «Дмитрий Шостакович» — 72-й, а «Розанов»?
- «Розанов» попозже на год. 73-й. И то меня пригласил человек, который возглавлял журнал «Евреи и мы».
- «Евреи в СССР»?
- Нет...
- «Страна и мир» есть...
- «Евреи в СССР», по-моему. Он еще приехал ко мне, я снимал маленький дом в Болшево, он ко мне приехал и демонстрировал мне вот эту желтую звезду... и все такое. И с ним была целая публика с этими желтыми звездами, а в ответ у меня в этот день были люди слишком православно настроенные, там... ну, известная заваруха. Рождественская заваруха 73-го года.
- То есть уже тогда общество «Память» существовало?
- Оно тогда у меня на глазах возникало.
- И они у тебя в доме встретились?
- В том-то и дело. Все встретились у меня в доме: и воинствующие иудаисты... забыл я фамилии... Воронель, который был главным редактором «Евреи в России», и вот эти вот, которые их ненавидели...
- Не произошло ли у них конфликта?
- Маленький был, но я исполнял роль вот этого маленького...
- Арбитра? Ты им говорил: «Брек!»?
- Я им этого не говорил, но они поняли.
- Ерофеев, а родная советская власть — насколько она тебя полюбила, когда слава твоя стала всемирной?
- Она решительно не обращала на меня никакого внимания. Я люблю мою власть.
- За что же особенно ты ее любишь?
- За все.
- За то, что она тебя не трогала и не сажала в тюрьму?
- За это в особенности люблю. Я мою власть готов любить за все.
- А что больше нравится тебе в твоей власти: ее слова, ее уста, ее поступь и поступки?
- Я все в ней люблю. Это вам вольно рассуждать о моей власти, ебена мать. Это вам вольно валять дурака, а я дурака не валяю, я очень люблю свою власть, и никто так не любит свою власть, ни один гаденыш не любит так мою власть.
- Отчего же у вас взаимная любовь?
- По-моему, взаимная, сколько я мог заметить. Я надеюсь, что взаимная, иначе зачем мне жить?!
- Хорошо. Между «Розановым» и «Вальпургиевой ночью» 13 лет. Что-то было в этом промежутке?
- Какое кому собачье дело?! Кому какое идиотское собачье дело, было чего-нибудь или не было. Это — вторгаться в интимные отношения.
- Но от тебя, как от Шекспира, ждут новых эпохальных произведений...
- Это я понимаю. Я если чего-нибудь пишу, то эпохальное, как говорит мэтр Тихонов.
- Кстати, ты замечательно создал образ Тихонова. Твой друг Вадя так прочно вошел в наш фольклор, а кстати, сам Вадя подозревает, что он настолько остроумен и гениален?
- Он не подозревает. За него приходится придумывать даже вот эти штуки, вроде: «Двадцать шесть бакинских комиссаров — ты бы смог слопать?»
- Так это ты Вадю изобразил в «Вальпургиевой ночи»?

— Вадю стоит везде изобразить. Во Владимире, когда мне сказали: «Ерофеев, большие ты не жилец в общежитии». И приходит абсолютно незнакомый человек и говорит: «Ерофейчик. Ты Ерофейчик?» Я говорю: «Как то есть Ерофейчик?» — «Нет, я спрашиваю: ты Ерофейчик?» Я говорю: «Ну, в конце концов, Ерофейчик». — «Прошу покорно в мою квартиру. Она без вас пустует. Я предоставляю вам политическое убежище».

— А кстати, история с пистолетами тогда же произошла?

— Да, да, да.

— Это когда ты уже у Вади жил?

— Да.

— А зачем этот человек считал, что тебе нужны пистолеты?

— А вот хрен его знает. Но тут удивляться нечему. За день до этого меня останавливал один парень с физико-математического факультета, вернее, я его остановил и спросил: «Там, внизу, есть водяра, хоть какая-нибудь?» Он говорит: «Есть. Есть «Российская». Так вот, на следующий день торжественное собрание, ей-богу, торжественное собрание вот этого вот физико-математического факультета этого парня исключает. Человек уже на 4-м курсе, ебена мать.

— То есть человек с пистолетами решил, что тебе придется отстреливаться?

— Нет, просто слава моя была такова, что все думали, что мне нужны пистолеты.

— Трудно поверить, что о Ерофееве шла слава, как об извозчике Комарове или Ваньке Каине.

— Большие. Девушка... как звать эту девушку... Ивашкина...

— Ерофеев, ты заявил «Вальпургиеву ночь» как первую часть трилогии, а у меня на дне рождения сказал, что заканчиваешь вторую часть.

— Мало ли чего по пьянке не брякнешь. Ебенать.

— А может, все-таки напишешь?

— Ну, не знаю. Это надо мне за город поехать и печку затопить.

— Ну, давай я тебе дачу найду.

— Я сам найду и сам...

— Ладно, Веничка. Последний вопрос. Кто из советских литераторов или политических деятелей оказал на тебя наибольшее влияние?

— Если говорить о влиянии, то культуртрегерское — Аверинцев, Аверинцев.

— А Лотман?

— Лотман пониже, как говорят дирижеры. И Муравьев. Я знаю, о чем говорю, ебена мать!

— А из политических деятелей?

— Аракчеев и Столыпин. Если хорошо присмотреться, не такие уж они разные.

— В таком случае, сюда бы Троцкого.

— Упаси бог. Этого жидяру, эту блядь, я бы его убил канделябром. Я даже поискал бы чего потяжелее, чтобы его по голове хуякнуть.

— А кого из членов большевистского правительства ты бы не удавил?

— Пожалуй, Андропова.

— Душителя диссидентов?

— Нет, он все-таки был приличный человек.

— Не кажется ли тебе странным, что за 70 лет единственный приличный человек — и тот начальник охранного отделения?

— Ничего странного. Наоборот. Хороший человек. Я ему даже поверил. Потом он снизил цены на водяру — четыре семьдесят. Подумаешь там, танки в Афганистане...

— Ну, танки Брежнев ввел.

— Плевать, кто вводил и куда. Этого уже народ не помнит. Но то, что водка стала дешевле!..

### **"Умру, но никогда не пойму..."<sup>99</sup>**

В 1970 году в количестве двух экземпляров на машинке вышла в свет повесть 30-летнего Венедикта Ерофеева "Москва - Петушки". Прочла ее "вся Москва", а затем и провинция, близкая и далекая. Автора признали и полюбили без всяких подсказок литературной критики.

А ведь повесть не очень-то льстила. Мрачная картина упадка и самоистребления общества вырисовывалась из блистательного игрового текста, какого давно не видел истосковавшийся по искусству слова читатель.

Сейчас Венедикт Ерофеев обременен славой, хотя жизнь его далека от того, что именуется "процветанием". Он перенес тяжелую операцию, благодарное отечество отвалило ему 26 рублей пенсии по инвалидности. Его пьеса "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" идет в театре, эссе "Розанов глазами эксцентрика" опубликовано в альманахе "Зеркала", а повесть "Москва - Петушки" напечатана уже дважды - в журнале "Трезвость и культура" и в альманахе "Весть". Писатель любим литературными друзьями, его одолевают интервьюеры из-за границы, представители отечественной прессы, почитатели, посетители...

Но давайте от "счастливого конца" вернемся к началу. Если кого-то шокирует необычность суждений автора "Москвы - Петушков", тот волен искать в литературе и в жизни другие ориентиры.

- Венедикт Васильевич, правда ли, что в школе вы всегда были отличником и, приехав из "глубинки", сразу поступили в МГУ имени Ломоносова?

- Имени Ломоносова... Это я взял и приехал, мне было страшно немножко, потому что я действительно впервые за свою жизнь пересекал Полярный круг. Тем, кто пересекал его с юга на север, и то страшновато, а тому, кто с севера на юг - куда страшнее... Я увидел первую березку и обалдел, я увидел...

- В семнадцать лет?

- Мне еще не было семнадцати. Я увидел первую корову и подивился: ба, еще на свете есть коровы. Я, однако, доехал до Москвы... Экзаменов тогда не требовалось, только собеседование. Прошел получасовое собеседование с профессором Шанским, и он сказал добро. Я тут же подал телеграмму в Кировск, на Кольский полуостров: "Поступил. Ерофеев. Всё". А первое, что я услышал, когда вошел в этот храм науки имени Ломоносова, было: делай раз, делай два, напра... нале... и так далее. Я тут недавно рассказывал Центральному телевидению одну историю, но они едва ли пропустят. Это уж точно. Майор, который вел наши военные занятия, сказал однажды: "Ерофеев! Почему вы так стоите? Неужели нельзя стоять стройно, парам-пам-пам! Главное в человеке, и он прохаживается перед строем наших филфаковцев, - главное в человеке - выправка!" Ну, я ему и сказал, это, мол, вовсе не ваша фраза, это точная цитата из Геринга, конец которого, между прочим, известен...

- А что, интересно, ответил товарищ майор?

- Товарищ майор ничего не ответил, но дал мне глазом понять, что мне недолго быть в МГУ имени Ломоносова. Но ничего не возразил - что на это возразишь!

- И майор как в воду глядел...

- Да, после третьего семестра меня, ну и так далее.

- И чем вы занимались, так сказать, до 1985 года?

- Чем занимался? Да чем только не занимался. Работал каменщиком, штукатуром, подсобником на строительстве Черемушек, в геологоразведочной партии на Украине, библиотекарем в Брянске, заведующим цементным складом в

*Дзержинске Горьковской области... Кем угодно.*

*- И все это время вас не печатали?*

*- Как то есть не печатали, когда практически во всех государствах...*

*Сначала был на меня наплыв стран НАТО, примерно с 76-го по 81-й, потом они отхлынули. Потом пошли страны Варшавского Договора.*

*- У нас вас тоже читали, и очень немало...*

*- Дело даже не в этом. Были читатели очень дурного разбора. Им было наплевать на суть, главное, был оттенок запрещенности. Такие никогда не будут смотреть Рафаэля, а вот надписи в туалете Курского вокзала будут очень и очень изучать.*

*- Но были и другие?*

*- Еще бы, я для них это и делал. Я, когда писал, знал заведомо, кого имею в виду.*

*- Извините за некорректный вопрос: на что вы жили? И где брали время, чтобы писать?*

*- Ну я же постоянно работал. А когда я писал, лежа на второй полке строительного вагончика, ко мне подходили и говорили: а ты чего там кропаешь? Ты чего, в институт хочешь поступать? Все равно не поступишь - туда только по благу поступают, так что нечего кропать, давай пойдем пить водяру. Таким образом снимается всякая проблематика. Или вот еще очень неплохой штрих к...*

*- К вашей биографии?*

*- Да не обо мне речь. Я имею в виду русский народ. Вернее, советизированный... Так вот вам случай. Упал кабель в траншею с ледяной водой. И ведь кому-то нужно лезть его вытаскивать. И самое странное - никто не решается. Я гляжу на своих коллег - никто. И я - не потому, что опять же отважный человек, а потому, что мне было противно на них глядеть, - я полез. А в это время проходит мимо мамаша с ребенком, показывает ему на меня, у которого в жизни не было ни одной четверки, и говорит: вот, если будешь плохо учиться, то придется потом, как этому дяде, по траншеям лазить.*

*- А правда, что вы однажды чуть-чуть не побывали в Сорбонне?*

*- Меня пригласили из Парижского университета на филологический факультет, и одновременно с этим было приглашение от главного хирурга-онколога Сорбонны, сейчас не помню фамилий, тем более что мне не отдали назад этих приглашений. И приглашения эти были отпечатаны так красиво и на такой парижской бумаге и все такое... И вот тут стали заниматься почему-то моей трудовой книжкой. Ну зачем им моя трудовая книжка, когда нужно отпустить человека по делу? А тем более когда зовет главный хирург Сорбонны - он ведь зовет вовсе не в шутку, кажется, можно было понять. И они копались, копались - май, июнь, июль, август 1986 года - и наконец объявили, что в 63-м году у меня был четырехмесячный перерыв в работе, поэтому выпустить во Францию не имеют никакой возможности. Я обалдел. Шла бы речь о какой-нибудь туристической поездке - но ссылаться на перерыв в работе двадцатитрехлетней давности, когда человек нуждается в онкологической помощи, - вот тут уже... Умру, но никогда не пойму...*

*- Венедикт Васильевич, а вы знаете, "кто виноват"?*

*- Понятия не имею. Ты бы еще спросил, "что делать?". И вообще пора кончать с этой фразеологией. Нужно избрать для первого случая хотя бы немножко другую, а там, глядишь, и остальное получится.*

*- Кстати, о фразеологии. Вот термин "советская интеллигенция".*

*- Господи, а это что такое?*

*- Как вы относитесь к тому, что советская интеллигенция должна унаследовать лучшие традиции интеллигенции русской?*

*- Понимаю, понимаю, о чем речь. Но это чистейшая болтовня. Чего им*

наследовать? Советская интеллигенция истребила русскую интеллигенцию, и она еще претендует на какое-то наследство...

- А как вы оцениваете современное состояние культуры - как кризисное?

- Никакого кризиса нет, и даже полное отсутствие всякого кризиса. Добро бы был хотя бы элементарный кризис, а то вообще - ни культуры, ни кризиса, решительно ничего.

- Но что-то интересное в современной литературе все же появляется?

- Появляться появляется. По-моему, самое перспективное сейчас направление - это вот те поэты, что плетутся в хвосте у обэриутов.

- А в прозе?

- В прозе мне нравятся наши культуртрегеры типа Михаила Гаспарова, Сергея Аверинцева. А среди прозаиков не нахожу никого. Я, по-моему, их хорошо всех оцупал и ничего пока не нашел.

Меня дважды спросили, каким критерием мерить?! И я сказал: очень простым критерием - сколько я б ему налил, это абсолютно точный критерий. Кому - ни граммули, кому - и то погода - грамм сто. Василию Быкову - полный стакан, даже с мениском, Алесю Адамовичу - даже сверх мениска, ну и так далее. А вообще-то о прозе нечего и говорить.

- Вы считаете, это безвозвратно?

- По-моему, безвозвратно. Все, что делается в России - все безвозвратно. Даже могил ничьих не найти. Нам ли еще шутить по поводу безвозвратности.

- А что у вас из написанного еще не напечатано сегодня? Что мы, надеюсь, скоро прочтем?

-- Ну не знаю, потому что "Заметки психопата" вряд ли решаться печатать. Там очень много не то чтобы непристойностей, но неожиданных лексических оборотов. К непристойностям они уже привыкли, я наблюдаю за телевидением, уже с голыми задками ходят, но вот с лексическим проворством они никогда не примирятся. Потом еще "Благая весть", роман "Дмитрий Шостакович", потерянный в моих скитаниях по Отечеству, потом статьи о норвежцах - о Кнуте Гамсуне, Бьёрнсоне, о позднем Ибсене...

- А стихи вы писали когда-нибудь?

- Писал. То - под Маяковского, то - под Игоря Северянина, когда мне было лет шестнадцать-семнадцать. И у меня то получалось, то не получалось. И потом я решил, что хватит дурака валять. Вообще в молодости я влюблялся во всех поочередно. Сначала в Бальмонте, потом спустя два месяца, Белого, ну и так далее.

- А осталась какая-нибудь любовь из этих юношеских влюбленностей?

- Все остались, в том-то и дело. Всем признателен. А то ведь люди обычно лихо расправляются с теми, кому они обязаны. Люди, подхватившие самое необходимое, скажем, у Анны Андревны или у Марины Ивановны, уже смотрят на них как бы свысока, а то и просто плюют. Вот это мне непонятно. Я, например, совершенно люблю каждого человека, который хоть немножко обязан. Будь то Бальмонт, будь то Северянин.

- Как вы познакомились с русским Серебряным веком на Кольском полуострове? Или тогда были еще книжки?

- Ну как были книжки? Были, конечно, типа "Как закалялась сталь" моего любимого Николая Островского.

- А где же вы познакомились с чередой ваших возлюбленных, начиная с Бальмонта?

- Ну, это уже, разумеется, когда поступил на первый курс в МГУ. Хоть и ничего еще не было издано, но среди студентов - основное студенчество было

настолько плохо, что противно и вспоминать - но опять же, как всегда, как и в Царскосельском лицее, непременно найдется кто-то, кто кое-чего кое в чем смыслит. Так вот мне повезло, я на них напал.

- А если говорить об учителях литературных?

- Конечно, Салтыков-Щедрин, Стерн, Гоголь, ранний Достоевский, ну и так далее, я мог бы слишком многих перечислить. Но в конце концов даже Северянин - и то учитель, даже Афанасий Фет - и то учитель.

А теперь давайте, задавайте ваш последний вопрос. Я очень люблю последние вопросы, как не люблю первых и вторых.

- Хорошо. Вот вы сегодня всем стали нужны. Вчера у вас было ЦТ, сейчас я, там, в соседней комнате, ждет девушка из "Экрана". Эти "цветы запоздалые"... Как они вам?

- Ну, какой вопрос, очень поэтический и ненужный. Не "цветы запоздалые", вовсе нет. Наоборот, меня бесит не их запоздалость, а эта вот их запоздалая расторопность. Вот что бесит меня больше всего.

### **"Умру, но никогда не пойму этих скотов"<sup>100</sup>**

...Предлагаем вашему вниманию одно из последних интервью Венедикта Ерофеева, лишь частично опубликованное в "Московских новостях" незадолго до смерти автора. Пришло время напечатать его полностью, без всяких изъятий, не смущаясь резкостью отдельных суждений и характеристик великого русского писателя.

- Венедикт Васильевич, чем вы занимались, так сказать, до 1985 года?

- Чем занимался? Да чем только не занимался. Работал каменщиком, штукатуром, подсобником на строительстве Черемушек, в геологоразведочной партии на Украине, библиотекарем в Брянске, заведующим цементным складом в Дзержинске Горьковской области... Кем угодно. Людям и во сне не приснится.

- В 69-м году вы написали "Москву - Петушки"...

- Я-то ее закончил в январе 70-го, но уже не имеет значения, какая там разница...

- И все это время вас хоть и не печатали, но зато читали...

- Как то есть не печатали, когда практически во всех государствах...

Сначала был на меня наплыв стран НАТО, примерно с 76-го по 81-й, потом они отхлынули. Потом пошли страны Варшавского Договора.

- Ну а в России, давайте о России...

- Опять о России, вечно о ней, о бедной...

- У нас тоже читали, и очень немало людей. Я помню, в 80-м году читал ваши "Петушки" в общежитии МФТИ - заведения, весьма далекого от литературы. А вы все эти годы чувствовали своего читателя?

- Да нет, дело даже не в этом. Были читатели очень дурного разбора. Им было наплевать на суть, главное, был оттенок запрещенности. Такие никогда не будут смотреть Рафаэля, а вот надписи в туалете Курского вокзала будут смотреть очень и очень.

- Извините за некорректный вопрос: на что вы жили? И где брали время, чтобы писать?

- Ну я же постоянно работал. А когда я писал, лежа на второй полке строительного вагончика, ко мне подходили и говорили: а ты чего там кропаешь?

Ты чего, в институт хочешь поступать? Все равно не поступишь - туда только по благу поступают, так что нечего кропать, давай пойдем пить водяру. Таким образом снимается всякая проблематика. То есть великолепный рабочий класс у нас. Или вот еще очень неплохой штрих к...

- К вашей биографии?

- Нет, на мою биографию наплевать в конечном счете. Я имею в виду русский народ. Так вот, стоит кабелеукладчик, но у него каким-то постыдным образом эта вот основная чудовищная металлическая стрела падает, и все тут. И почему она падает, никому не понятно, но все-таки падает. И ведь кому-то надо подползти под нее и подключить там кабель. И самое странное - никто не решается. Я гляжу на всех своих коллег - никто. А вдруг эта штука возьмет да рухнет действительно. Она то и дело и впрямь рухнет. вам случай. И не потому, что отважный человек, а потому, что мне было противно на них глядеть, - я встал, подвесил куда надо этот кабель, и как только из-под этой стрелы колоссальной железной выполз, она тут же и упала.

А был такой случай. Вывалился кабель в траншею с ледяной водой, и я полез в эту траншею. А в это время проходит мимо мамаша с ребенком, показывает ему на меня, у которого в жизни не было ни одной четверки, и говорит: вот, если будешь плохо учиться, то придется потом, как этому дяде, по траншеям лазить.

- Венедикт Васильевич, а что за история с Сорбонной?

- Меня пригласили из Парижского университета на филологический факультет, и одновременно с этим было приглашение от главного хирурга-онколога Сорбонны, сейчас не помню фамилий, тем более что мне не отдали назад этих приглашений. И приглашения эти были отпечатаны так красиво и на такой парижской бумаге и все такое... И вот тут стали заниматься почему-то моей трудовой книжкой. Ну зачем им моя трудовая книжка, когда нужно отпустить человека по делу? А тем более когда зовет главный хирург Сорбонны - он ведь зовет вовсе не в шутку, кажется, можно было понять. И они копались, копались - май, июнь, июль, август 1986 года - и наконец объявили, что в 63-м году у меня был четырехмесячный перерыв в работе, поэтому выпустить во Францию не имеют никакой возможности. Я обалдел. Шла бы речь о какой-нибудь туристической поездке - но ссылаться на перерыв в работе двадцатитрехлетней давности, когда человек нуждается в онкологической помощи, - вот тут уже... Умру, но никогда не пойму этих скотов.

- Не возражаете, если мы поговорим о русской интеллигенции?

- Господи, а это что такое?

- Считаете ли вы себя интеллигентом?

- (Смех). Нет, ну надо же... Я, конечно, буду отвечать на этот самый паскудный из всех вопросов, который тут... И потом я не вижу никакой интеллигенции.

- А как вы относитесь к тому, что советская интеллигенция должна унаследовать лучшие традиции интеллигенции русской?

- Это чистейшая болтовня. Чего им наследовать? Советская интеллигенция истребила русскую интеллигенцию, и она еще претендует на какое-то наследство...

- А существует ли советская литература? Вы советский писатель?

- Любой рассмеется в ответ на такой вопрос. Но я даже смеяться не буду, потому что мне врачи смеяться запретили.

- Можно ли говорить о кризисе русской культуры?

- Никакого кризиса нет, и даже полное отсутствие всякого кризиса. То есть вообще ничего нет. Добро бы был хотя бы ну элементарный кризис, а то вообще - ни культуры, ни кризиса, ничего, решительно ничего.

- Появляется ли сейчас что-нибудь интересное в современной литературе?

- Появляться появляется. Но, по-моему, самое перспективное сейчас направление - это вот те, что плетутся взаду у оберкутов.

- Вы считаете это направление самым перспективным?

- Да, а остальные... Ну неужели Чингиз Айтматов перспективен, ведь смешно говорить об этом. И при всем моем почтении к Алесю Адамовичу, Василию Быкову, все равно считал самым перспективным направлением, которое идет вслед за оберкутами. Поэты вроде Коркия, Иртеньева, Друка, Пригова. Они просто иногда кажутся очень шальными ребятами, но они совсем не шальные ребята, они себе на уме в самом лучшем смысле этого слова.

- А в прозе?

- А в прозе никого не нахожу. В прозе мне нравятся наши культуртрегеры типа Михаила Гаспарова, Сергея Аверинцева. А среди прозаиков я не нахожу никого. Я, по-моему, их хорошо оцупал всех и ничего пока не нашел.

- Венедикт Васильевич, а что у вас из написанного еще не напечатано сегодня?

- Ну не знаю, потому что "Заметки психопата" вряд ли решаться печатать. Они вряд ли на это пойдут, потому что там столько, - я говорю не о непристойностях, - но неожиданных лексических оборотах, мягко говоря. К непристойностям уже привыкли, я наблюдаю за телевидением, уже с голыми задками ходят, но вот с лексическим проворством они никогда не примирятся.

- Вы еще упоминали "Дмитрия Шостаковича"...

- А это уже пропало навеки... Потом "Благая весть", надо ее восстановить. Потом статьи о норвежцах - о Кнуте Гамсуне, Бьёрнсоне, о позднем Ибсене, все ведь это надо как-то найти...

- А писали когда-нибудь стихи?

- Писал. То - под Маяковского, то - под Игоря Северянина, когда мне было лет шестнадцать-семнадцать. И у меня то получалось, то не получалось. И потом я решил, что хватит дурака валять.

- И стали "говорить шекспировскими ямбами"...

- Ну примерно то.

- А ваши поэтические пристрастия? Вы говорили, что ближе всего вам русский Серебряный век, начало века?

- Ну начало, конечно, ближе, чем середина.

- А в этом Серебряном веке кто?

- В молодости я влюблялся во всех поочередно. Сначала втюрился в Константина Бальмонте, потом, спустя два месяца, - в Игоря Северянина, спустя три месяца - в Андрея Белого, ну и так далее. Я был влюбчивый. Как говорила мать Олега Кошевого: он просто влюбчивый. Обо мне то же самое можно сказать.

- А осталась какая-нибудь любовь из этих юношеских влюбленностей?

- Все остались, в том-то и дело. Всем признателен. А то ведь люди обычно лихо расправляются с теми, кому они обязаны. Люди, подхватившие самое необходимое, скажем, у Анны Андревны или у Марины Ивановны, уже смотрят на них как бы свысока, плюют просто. Вот это мне непонятно. Я, например, совершенно люблю каждого человека, который хоть немножко обязан. Будь то Бальмонт, будь то Северянин, - я знаю, что они немножко придурки, но все равно люблю.

- Как вы познакомились с русским Серебряным веком на Кольском полуострове? По книжкам?

- Ну как, были книжки? Были, конечно, типа "Как закалялась сталь" моего любимого Николая Островского. Потом еще какая-нибудь гадость. Именно на этом мы ми растились, то есть на такой вот приподнятой паскудщине... Я бы сказал, но не люблю материшину несвоевременную.

- А где же вы познакомились с чередой ваших возлюбленных?

- Это, разумеется, когда поступил на первый курс в МГУ. Хотя и ничего еще не было издано, но среди студентов - основное студенчество было настолько плохо, что противно и вспоминать - но опять же, как всегда, как и в Царскосельском лицее, непременно найдется семь на восемь людей, которые кое-чего кое в чем смыслят. Так вот мне повезло, я на них напал.

- А кого вы числите своими учителями?

- Конечно, Салтыков-Щедрин, Стерн, Гоголь, ранний Достоевский, ну и так далее, я мог бы слишком многих перечислить. Но в конце концов даже Северянин - и то учитель, даже Афанасий Фет - и то учитель.

- А в жизни встречался вам человек, которого вы считали своим учителем?

- Да, встретился. Мой однокашник Владимир Муравьев (в настоящее время - переводчик, историк английской литературы, критик. - И.Б.). В университете мне сказали: "Ерофеев, ты тут пишешь какие-то стихи, а вот у нас на первом курсе филфака человек есть, который тоже пишет стихи". Я говорю: "О, вот это уже интересно, ну-ка покажите его мне, приведите мне этого человека". И его, собаку, привели, и он оказался, действительно настолько сверхэрудированным, что у меня вначале закружился мой тогда еще юный баиечник. Потом я справился с головокружением и стал его слушать. И было чего слушать. И если говорить об учителе нелитературном, то - Владимир Муравьев. Наставничество это длилось всего полтора года, но все равно оно было более или менее неизгладимым. С этого все, как говорится, началось.

- Венедикт Васильевич, а есть ли у вас ученики? Вы рассказывали, что ребята, которые как вы выразились, "плетутся взаду у обернутов", подарили вам стихотворный сборник с надписью "Все мы вышли из "Петушков"..."

- Опять же без всякой гордыни я считаю, что это наилучшее направление в русской поэзии. А о прозе что и говорить, она погибла.

- Вы считаете, это безвозвратно?

- По-моему, безвозвратно. Все, что делается в России - все безвозвратно. Даже могил ничьих не найти. Нам ли еще шутить по поводу безвозвратности.

- А если говорить о прозе не только "молодых"?

- Мы однажды говорили о прозе и меня спросили, каким критерием мерить? И я сказал: очень простым критерием - сколько я б ему налил, это абсолютно точный критерий. Астафьеву ни грамма, Белову - ни граммули, Распутину - и то погодя, ну туда-сюда, грамм сто, Василию Быкову - полный стакан, даже с мениском, Алесю Адамовичу - даже сверх мениска, ну и так далее.

- Венедикт Васильевич, в Театре на Малой Бронной прошла премьера вашей "Вальпургиевой ночи". Понравилось вам, как ее поставили?

- Чудовищно не понравилось. Я даже заранее главной администраторше театра заказал себе место крайнее справа, чтобы уйти.

- Но все же досмотрели?

- Досмотрел.

- Значит, не настолько чудовищно, можно было досмотреть?

- Я, знаете ли, еще и педантичен. Но нельзя же урезать, так урезать-то...

Всю израильскую тему... Диалоги...

- И реплики санитарки Тamarочки?

- То, что это было убрано, это чепуха, хотя это, в сущности, не чепуха.

Когда я был в Четвертом отделении, мне приходилось несколько недель подряд слушать вот эту фразеологию. И никому не советую ее слушать. И когда я сказал: "Женищина, вы все-таки женищина, вы неужели не можете без этого?" А она сказала: "А ты кто такой..." Ну, все понятно. А дальше она говорила примерно две минуты то, что она говорила...

- В пьесе?

- Нет, ну в какой же пьесе, добро бы в пьесе, а то именно в Четвертом отделении больницы Кащенко. В пьесе это бы еще хорошо.

- Венедикт Васильевич, позвольте вопрос дурацкий. Вы знаете, "кто виноват"?

- Понятия не имею, еще бы задал вопрос "что делать?". Пошел ты с этими вопросами. Я не люблю таких вопросов. И вообще пора кончать с этой фразеологией. Нужно избрать для первого случая хотя бы немножко другую, а там, глядишь, и остальное получится.

- А что вы скажете о перестройке?

- Мне незачем перестраиваться. Остаюсь статус-кво, и навеки останусь.

- А вообще?

- А вообще-то недурно. А теперь давайте, задавайте ваш последний вопрос. Я очень люблю последние вопросы, как не люблю первых и вторых.

- Хорошо. Вот вы сегодня всем стали нужны. Вчера у вас было ЦТ, сейчас я, там, в соседней комнате, ждет девушка из "Экрана". Эти "цветы запоздалые"... Как они вам?

- Ну, какой вопрос, очень поэтический и ненужный. Не "цветы запоздалые", вовсе нет. Наоборот, меня бесит не их запоздалость, а эта вот их запоздалая расторопность. Вот что бесит меня больше всего.

- Спасибо.

## **Венедикт Ерофеев<sup>101</sup>** **Моя маленькая лениниана**

Для начала – два вполне пристойных дамских эпитафия:

Надежда Крупская – Марии Ильиничне Ульяновой:

*«Все же мне жалко, что я не мужчина, я бы в десять раз больше шлялась» (1899).*

Инесса Арманд (1907):

*«Меня хотели послать еще на 100 верст к северу, в деревню Койду. Но во-первых, там совсем нет политиков, а во-вторых, там, говорят, вся деревня заражена сифилисом, а мне это не очень улыбается».*

Впрочем, можно следом пустить еще два дамских эпитафия, но только уже не вполне пристойных:

Галина Серебрякова о ночах Карла Маркса и Женни фон Вестфален:

*"Окружив его заботой, Женни терпеливо писала под диктовку Карла. А Карл с сыновней доверчивостью отдавал ей свои мысли. Это были счастливые минуты полного единения. Случалось, до рассвета они работали вместе. Но только люди, жившие за стеной, жаловались на то, что у них ночами «не прекращаются разговоры и скрип ломких перьев» (в серии ЖЗЛ).*

Инесса Арманд – Кларе Цеткин:

*«Сегодня я сама выстирала свои жабо и кружевные воротнички. Вы будете бранить меня за мое легкомыслие, но прачки так портят, а у меня красивые кружева, которые я не хотела бы видеть изорванными. Я все это выстирала сегодня утром, а теперь мне надо их гладить. Ах, счастливый друг, я уверена, что Вы никогда не занимаетесь хозяйством, и даже подозреваю, что Вы не умеете гладить. А скажите откровенно, Клара, умеете Вы гладить? Будьте чистосердечны, и в вашем следующем письме признайтесь, что Вы совсем не умеете гладить!» (январь 1915).*

Ну а теперь к делу. То есть к выбранным местам из частной и деловой переписки Ильича с того времени, как он научился писать, и до того (1922) времени, как он писать разучился.

---

<sup>101</sup> Тексты приводятся по материалам

[http://royallib.ru/book/erofeev\\_venedikt/dnevnik\\_zapiski\\_sumasshedshego.html](http://royallib.ru/book/erofeev_venedikt/dnevnik_zapiski_sumasshedshego.html)

В 1895 году он еще гуляет по Тиргартену, купается в Шпрее. Посетив Францию, сообщает: «Париж – город громадный, изрядно раскинутый».

Но уже в 96-ом году Ильич помещен на всякий случай в дом предварительного заключения в Санкт-Петербурге:

*«Литературные занятия заключенным разрешаются. Я нарочно справлялся об этом у прокурора. Он же подтвердил мне, что ограничений в числе пропускаемых книг нет».*

Оттуда же он пишет сестрице:

*"Получил вчера припасы от тебя, (...) много снеди (...) чаем, например, я мог бы с успехом открыть торговлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции с местной лавочкой победа осталась бы несомненно за мной.*

*Все необходимое у меня здесь имеется, и даже сверх необходимого. Свою минеральную воду я получаю и здесь: мне приносят ее из аптеки в тот же день, как закажу".*

Одна только просьба:

*«Хорошо бы получить стоящую у меня в ящике платяного шкафа овальную коробку с клистирной трубкой» (1896).*

А дальше, разумеется, Шушенское.

*«В Сибири вообще в деревне очень и очень трудно найти прислугу, а летом просто невозможно» (1897).*

*"Я еще в Красноярске стал сочинять стихи:*

*В Шуше, у подножия Саяна... но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил".*

Младший братец его, Дмитрий Ульянов, тоже угодил в тюрьму, и вот какие советы из Шушенского дает ему старший брат:

*«А Митя? Во-первых, соблюдает ли он диету в тюрьме? Поди, нет. А там, по моему, это необходимо. А во-вторых, занимается ли он гимнастикой? Тоже, вероятно, нет. Тоже необходимо. Я по крайней мере по своему опыту знаю и скажу, что с большим удовольствием и пользой занимался на сон грядущий гимнастикой. Разомнешься, бывало, так, что согреешь даже. Могу порекомендовать ему и довольно удобный гимнастический прием (хотя и смехотворный) – 50 земных поклонов» (1898).*

И, сверх того, ожидание невесты Надежды Константиновны и будущей тещи Елизаветы Васильевны. Наконец приезжают. Вот как он сообщает об этом приезде своей матушке:

*«Я нашел, что Надежда Конс-на выглядит неудовлетворительно. Про меня же Елизавета Васильевна сказала: „Эк Вас разнесло!“ – отзыв, как видишь, такой, что лучше и не надо» (1898).*

*«Мы с Надей начали купаться».*

А когда закончились купальные сезоны – *«катаюсь на коньках с превеликим усердием и пристрастил к этому Надю» (1898).*

Европа после Шушенского, само собой, дерьмо собачье.

*«Глупый народ – чехи и немчура» (Мюнхен, 1900).*

*«Мы уже несколько дней торчим в этой проклятой Женеве. Гнусная дыра, но ничего не поделаешь» (1908).*

*«Париж – дыра скверная» (1910).*

Блистательные сентенции вроде: *«Я вовсе не нахожу ничего смешного в заигрывании с религией, но нахожу много мерзкого» (1909).*

*«Мы все ездим с Надей на велосипедах кататься» (1909).*

*«Ехал я из Жювизи, и автомобиль раздавил мой велосипед (я успел соскочить). Публика помогла мне записать номер, дала свидетелей. Я узнал владельца автомобиля (виконт, черт его дери) и теперь сужусь с ним через адвоката. (...) Надеюсь выиграть».* (Париж, 1910).

*«Погода стоит такая хорошая, что я надеюсь снова взяться за велосипед, благо*

процесс я выиграл и скоро должен получить деньги с хозяина автомобиля» (Париж, 1910). «Я не верю, что будет война» (Краков, 1912). «А насчет женского органа пусть напишет Надежда Константиновна» (Краков, 1914).

И драгоценные добавления в письмах Надежды Константиновны:

«Новый год мы встречали вдвоем с Володей, сидючи над тарелками с простоквашей» (январь 1914).

«Собираемся взять прислугу, чтобы не было большой возни с хозяйством и можно было бы уходить на далекие прогулки» (Краков, 1914).

«Сегодня Володя ездил на велосипеде довольно далеко, только шина у него лопнула» (Краков, лето 1914).

О своем друге Максиме Горьком Ильич помнит неизменно:

«Горький изнервничался и раскис» (1910).

«Горький всегда был архибесхарактерным человеком».

Или:

«Бедняга Горький! Как жаль, что он осрамился!»

И несколько позднее:

«И это Горький! О, теленок!»

Однако началась война. Бегство из Кракова. И, «сидючи» в нейтральной Швейцарии, тов. Шляпникову:

«Лозунг мира – это обывательский, поповский лозунг» (17 октября 1914 года).

А милой Инессе Арманд:

«... Даже мимолетная связь и страсть поэтичнее, чем поцелуи без любви пошлых и пошленьких супругов». Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре.

Логично ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить... что?... Казалось бы, поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную) «страсть» (почему не любовь?). Выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским».

Странно. Не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский брак без любви пролетарскому браку с любовью" (24 января 1915).

И ей же:

«Требование „свободы любви“ советую вовсе выкинуть. Это выходит действительно не пролетарское, а буржуазное требование. Дело не в том, что Вы хотите субъективно понимать под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви» (17 января 1915).

И опять ей:

«Если уж непременно хотите, то мимолетная связь = страсть может быть и грязная, может быть и чистая» (24 января 1915). «У нас опять дожди. Надеюсь, небесная канцелярия выльет всю лишнюю воду к Вашему приезду, и тогда будет хорошая погода» (4 июня 1915). «Крепко, крепко жму руку, мой дорогой друг».

И необходимость постоянно печатать свои очередные брошюры с очередными тезисами. Спустя два с лишним года, уже будучи вождем большевистского правительства, он будет давать такие распоряжения: «Реквизировать 30 000 ведер вина и спирта в винных складах. Есть ли бумажка от Военно-Революционного Комитета, чтобы спирт и вино не выливалось, а ТОТЧАС же были проданы в Скандинавию? Написать ее тотчас» (9 ноября 1917). А пока он не вождь, тов. Карпинскому:

«Дорогой товарищ! Мы ужасно обеспокоены отсутствием от Вас вестей и корректур (моей брошюры). Неужели наборщик опять запил?» (20 февраля 1915).

Тов Зиновьеву:

«Не помните ли фамилию Кобы? Привет, Ульянов». (3 августа 1915).

Тов. Карпинскому:

«Большая просьба: узнайте фамилию Кобы» (9 ноября 1915).

Все. Февральский переворот в России. Ленин:

*«Нервы взвинчены сугубо нужно скакать, скакать».*

*«Мы боимся, что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся».*

*«Нужен отдельный вагон для революционеров».*

*«Я могу одеть парик».*

*«Хорошо бы попробовать у немцев пропуска – вагон до Копенгагена».*

*«Почему бы и нет? Я не могу этого сделать. А Трояновский и Рубакин и К – могут. О, если бы я мог научить эту сволочь!» (март 1917).*

Инессе Арманд:

*«Вы скажете, может быть, что немцы не дадут нам вагона. Давайте пари держать, что дадут».*

*«Нет ли в Женеве дураков для этой цели?» (19 марта 1917).*

*«Германское правительство лояльно охраняло экстерриториальность нашего вагона. Привет, Ульянов!» (14 апреля 1917).*

В письмах послезалповских, послеавроровских – нет ничего триумфального. Напротив того: *«Республика в опасности»*. Необходимы срочные меры. Например, такие:

*«Нужно запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко. Он должен называться просто тов. Овсеенко» (14 марта 1918).*

*«Аресты, которые должны быть произведены по указанию тов. Петерса, имеют исключительно большую важность и должны быть произведены с большой энергией».*

Тов. Зиновьеву в Петроград:

*"Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором и что Вы их удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.*

*Это не-воз-мож-но! Надо поощрить энергию и массовидность террора!" (26 ноября 1918).*

Тов. Сталину в Царицын:

*«Будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаще».*

*«Повсюду надо подавить беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов» (7 июля 1918).*

Тов. Сокольникову:

*«Я боюсь, что Вы ошибаетесь, не применив строгости. Но если Вы абсолютно уверены, что нет сил для свирепой и беспощадной расправы, то телеграфируйте» (24 сентября 1918).*

В Пензенский губисполком:

*«Необходимо произвести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении».* (9 августа 1918).

Тов Федорову, председателю Нижегородского губисполкома:

*«В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п. Ни минуты промедления» (9 августа 1918).*

Не совсем понятно, кого же убивать. Проституток, спаивающих солдат и бывших офицеров? Или проституток, спаивающих солдат, а уже от «... будьте образцово – беспощадны».

Тов Шляпникову, в Астрахань:

*«Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять астраханских взяточников и спекулянтов. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы на все годы запомнили» (12 декабря 1918).*

Телеграмма в Саратов, тов. Пайкесу:

*«Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты» (22 августа 1918).*

Тов. Сталину в Петроград:

*"Вся обстановка белогвардейского наступления на Петроград заставляет предположить наличие в нашем тылу, а может быть и на самом фронте, организованного предательства. Только этим можно объяснить нападение /Юденича/ со сравнительно незначительными силами, стремительное продвижение вперед.*

*Просьба обратить усиленное внимание на это обстоятельство, принять экстренные меры для раскрытия заговоров" (27 мая 1919).*

*«Предупреждаю, за это председателей губисполкомов буду арестовывать и добиваться расстрела их» (20 мая 1919).*

Тов. Зиновьеву:

*«Вы меня зарезали!» (7 августа 1919).*

В отдел топлива Московского Совдепа:

*"Дорогие товарищи. Можно и должно мобилизовать московское население поголовно и на руках вытащить из леса достаточное количество дров (по кубу, скажем, на взрослого мужчину).*

*Если не будут приняты героические меры, я лично буду проводить в Совете Обороны и в ЦК не только аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы. Нетерпимы бездеятельность и халатность.*

*С коммунистическим приветом, Ленин" (18 июня 1920).*

В Президиум Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов:

*"Дорогие товарищи! Вынужден по совести сказать, что ваше постановление так политически безграмотно и так глупо, что вызывает тошноту. Так поступают только капризные барышни и глупенькие русские интеллигенты.*

*Простите за откровенное выражение своего мнения и примите коммунистический привет от надеющегося, что вас проучат тюрьмой за бездействие" (12 октября 1918).*

Глебу Кржижановскому:

*«Мобилизовать всех без изъятия инженеров, электротехников, всех кончивших физико-матем. факультеты и пр. Обязанность: в неделю не менее 2-х лекций. Обучить не менее 10-и (50-и) человек электричеству. Исполнить – премия. А не исполнить – тюрьма.» (декабрь 1920).*

Тов Чичерину:

*«Пусть Сталин поговорит начистоту с турецкой делегацией».*

*Получает донос на врачей, комиссующих раненых красных солдат, когда те еще «вполне способны воевать»:*

*«... организовать тайный надзор и слежку за поведением этих врачей, чтобы изобличить их, собрав свидетелей и документы, а потом предать суду» (20 ноября 1918).*

В ответ на жалобу М.Ф. Андреевой относительно арестов интеллигенции:

*«Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей этой околкадетской публики. Прступно не арестовывать ее. Лучшие, чтобы десятки и сотни интеллигентов посидели деньки и недельки. Ей-ей, лучше» (18 сентября 1919).*

Максиму Горькому о том же:

*«Короленко ведь почти меньшевик. Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками. Нет, таким „талантам“ на грех посидеть недельки в тюрьме». «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно» (15 сентября 1919).*

Тов Крестьянскому:

*«Брошюра напечатана на слишком роскошной бумаге. По-моему надо отдать за эту трату роскошной бумаги и типографских средств под суд, прогнать со службы и арестовать кого следует» (2 сентября 1920).*

*«Неумный человек или саботажник редактировал ее?»*

Тов. Сталину в Харьков:

*«Пригрозите расстрелом этому нееряхе, который, заведую связью, не умеет и добиться полной исправности телефонной связи со мной» (16 февраля 1920).*

Тов. Каменеву:

*"По-моему нужен секретный циркуляр против клеветников, бросающих клеветнические обвинения под видом «критики» (5 марта 1921).*

Смольный, Зиновьеву:

*"Знаменитый физиолог Павлов просится за границу. Отпустить за границу Павлова вряд ли рационально, так как и раньше он высказывался в том смысле, что, будучи правдивым человеком, не сможет, в случае возникновения соответственных разговоров, не высказаться против советской власти и коммунизма в России.*

*Ввиду этого желательнее было бы, в виде исключения, предоставить ему сверхнормативный паек" (25 июня 1920).*

Каменеву и Сталину:

*«Опасность, что с сибирскими крестьянами мы не сумеем поладить, чрезвычайно велика и грозна, а тов. Чупкаев несомненно слаб, при всех его хороших качествах, – он совершенно незнаком с военным делом» (9 марта 1921).*

Шмидту, Троцкому, Цурюпе, Шляпникову, Рыкову, Томскому:

*«Прошу Вас собрать совещание наркомов – об оздоровлении фабрик и заводов путем сокращения количества едоков» (2 апреля 1921 ).*

В Совет Труда и Оборона:

*«Перетряхнуть Московский гарнизон, уменьшив количество и повысив качество».*

Тов. Брюханову:

*«Сейчас же начать кампанию беспощадных арестов за нерадение (...). НКПрод должен установить по губерниям и уездам ответственных лиц, чтобы знать, кого посадить» (25 мая 1921).*

Тов. Пеображенскому:

*"Что он реакционер, охотно допускаю. Но их надо иначе изобличать. Изобличи на точном факте, поступке, заявлении. Тогда посадим.*

*Надо выработать приемы ловли спецов и наказания их" (19 апреля 1921).*

Очень мило. В. Молотову:

*"Прелагаю уволить Абрамовича тотчас.*

*Федоровскому предоставить объяснения, как он мог принять на службу Абрамовича.*

*Федоровского за это наказать примерно" (10 июня 1921).*

И шуточки:

*«Тов. Цурюпа! Не захватите ли в Германию Елену Федоровну Размирович? Крыленко очень обеспокоен ее болезнью. Здесь вылечиться трудно, а немцы выправят. По-моему, надо бы ее арестовать и по этапу выслать в германский санаторий. Привет! Ленин» (7 апреля 1921).*

И без шуток:

*«Если после выхода советской книги ее нет в библиотеке, надо, чтобы Вы (и мы) с абсолютной точностью знали, кого посадить» (Тов. Литкенсу, 17 мая 1921).*

Тов. Горбунову:

*«Ведь есть ряд постановлений СТО об ударности Гидроторфа. Явно они забыты. Это безобразие! Надо найти виновных и отдать их под суд» (10 февраля 1922).*

Тов. Каменеву:

*«Почему это задержалось? [имеется в виду печатание ленинских „Тезисов о внешней торговле“] Ведь я давал срока 2-3 дня! Христа ради, посадите Вы за волокиту в тюрьму кого-нибудь!... Ваш Ленин» (11 февраля 1922).*

*«Наши дома загажены подло. /... / Надо в 10 раз точнее и полнее указать*

*ответственных лиц и сажать в тюрьму беспощадно» (8 августа 1921).*

*«От Центропечати требуйте быстрой рассылки „Наказа СТО“, иначе я их посажу».*

*«Позвоните Беленькому и скажите, что я зол». А Брюханову и Потяеву:*

*«Если еще раз поссоритесь, обоих прогоним и посадим» (август 1921).*

*«Медленно оформляли заказ на водные турбины! В коих у нас страшный недостаток! Это верх безобразия и бесстыдства! Обязательно найдите виновных, чтобы мы этих мерзавцев могли сгноить в тюрьме» (13 сентября 1921).*

*«Если у Вас в Баку еще есть следы (хотя бы даже малые) вредных взглядов и предрассудков (среди рабочих и интеллигентов), пишите мне тотчас. Беретесь ли Вы сами разбить эти предрассудки и добиться лояльности или нужна помощь?» (2 апреля 1921).*

*«Либо дурак, либо саботажник злостный мог пропустить эту книгу. Прошу расследовать и назвать мне всех ответственных за редактирование и выпуск этой книги лиц» (7 августа 1921).*

*О Прокоповиче и Кусковой:*

*«Газетам дадим директиву завтра же начать на сотню ладов и изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение 2-х месяцев».*

*Наркому почт и телеграфа:*

*"Обращаю Ваше серьезное внимание на безобразие с моим телефоном из деревни Горки.*

*Посылаемые вами лица мудрят, ставят ни к чему какие – то особенные приборы. Либо они совсем дураки, либо очень умные саботажники".*

*Бедняга профессор Тихвинский, управляющий петроградскими лабораториями Главного нефтяного комитета. Одной фразы Ильича было достаточно: «Тихвинский не случайно арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга» (сентябрь 1921) . Расстрелян в 1921 году.*

*В Главное управление угольной промышленности:*

*«Имеются некоторые сомнения в целесообразности применения врубовых машин. Тот производственный эффект, который ожидает от применения врубовых машин тов. Пятаков, явно преувеличен. Киркой лучше и дешевле» (август 1921).*

*В комиссию Киселева:*

*«Я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно и должно делать из торфа. Надо это производство спирта из торфа развить» (11 сентября 1921 года).*

*Это напоминает нам деловую записку от 26 августа 1919:*

*«Сообщите в Научно-пищевой институт, что через три месяца они должны предоставить точные и полные данные о практических успехах выработки сахара из опилок».*

*Ну, это ладно. Воображаю, как вытягивалась морда у наркома просвещения Анатолия Луначарского, когда он получал от вождя такие депешки:*

*«Все театры советую положить в гроб» (26 августа 1921).*

*Или телеграммы:*

*«Какие вопросы Вы признаете важнейшими, а какие – ударными! Прошу краткого ответа» (8 апреля 1921).*

*Для Политбюро ЦК РКП(б):*

*«Узнал от Каменева, что СНК единогласно принял совершенно неприличное предложение Луначарского о сохранении Большой Оперы и Балета» (12 января 1922).*

*Раздражение еще вызывают поэт Маяковский и Народный комиссариат юстиции.*

*Тов. Богданову:*

*«Мы еще не умеем гласно судить за поганую волокиту, за это весь Наркомюст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что всех нас*

когда-нибудь за это поделом повесят» (23 декабря 1921).

Тов. Сокольникову:

*«Не спит ли у нас НКЮст? Тут нужен ряд образцовых процессов с применением жесточайших кар. НКЮст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика требует новых способов, новой жестокости кар. С коммунистическим приветом. Ленин» (11 февраля 1922).*

Начинается изгнание профессуры.

Каменеву и Сталину:

*«Уволить из МВТУ 20-40 профессоров. Они нас дурачат». (21 февраля 1922).*

Ф. Э. Дзержинскому:

*"К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров. Надо это подготовить тщательнее. Обязать членов Политбюро уделять 2-3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг. Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручите все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ.*

*Не все сотрудники «Новой России» – кандидаты на высылку за границу. Другое дело питерский журнал «Экономист». Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В No 3 напечатан на обложке список сотрудников. Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее шпионов, слуг, растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих вредителей изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу.*

*Прошу показать это секретно, не разглашая, членам Политбюро с возвратом. Вам и мне." (19 мая 1922).*

А тов. Кржижановский, которому было поручено 10-50 человек обучить электричеству, надорвался и тоже захотел в Европу.

Тов. Сталину:

*"Прошу немедленно поручить НКИнделу запросить визу для въезда в Германию Глеба Максимилиановича Кржижановского и его жены Зинаиды Павловны Кржижановской.*

*Речь идет о лечении грыжи.*

*С коммунистическим приветом. Ленин" (25 апреля 1922).*

А тов. Иоффе обязан лечить в Европе свой невротический недуг, который заключается вот в чем.

Тов. Иоффе:

*"Во– первых, Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что ЦК – это я. Такое можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления.*

*Зачем же так нервничать, что писать совершенно невозможную, совершенно невозможную фразу, будто ЦК – это я? Это переутомление. Отдохните серьезно. Обдумайте, не лучше ли за границей. Надо вылечиться вполне". (17 марта 1921).*

И тут же следом – Г. М. Кржижановскому:

*«Я должен тыкать носом в мою книгу, ибо много плана серьезного нет и быть не может». (5 апреля 1921).*

А тов. Чичерин вовсе и не просил о лечении, но получилось так: тов. Чичерин представлял нашу державу на Генуэзской конференции с только недавно опубликованным напутствием Ленина:

*«Ноту по поводу отсрочки Генуэзской конференции следует составить в самом наглом и издевательском тоне, так, чтобы в Генуе почувствовали пощечину. Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью. (...) Нельзя упускать случая» (25 февраля 1922).*

В. Молотову:

*"Сейчас получил 2 письма от Чичерина. Он ставит вопрос о том, нельзя ли на Генуэзской конференции за приличную компенсацию (продовольственная помощь и пр.)*

*согласиться на маленькие изменения нашей Конституции, именно представительство других партий в Советах. Сделать это в угоду американцам.*

*Это предложение Чичерина показывает, по-моему, что его надо лечить, немедленно отправить в санаторий" (23 января 1922).*

И через день тому же Молотову:

*«Это и следующее письмо Чичерина явно доказывают, что он болен, и сильно болен. Мы будем дураками, если тотчас и насильно не сошлем его в санаторий» (24 января 1922).*

И в заключении – два негромких аккорда. Первый из них вызывает слезы, второй – тоже.

Тов. Уншлихту:

*«Гласность ревтрибуналов (уже) не обязательна. Состав их усилить Вашими людьми, усилить их всяческую связь с ВЧК, усилить быстроту и силу их репрессий. Поговорите со Сталиным, покажите ему это письмо» (31 января 1922).*

Тов. Каменеву:

*«Не можете ли Вы распорядиться о посадке цветов на могиле Инессы Арманд?» (24 апреля 1921).*

**Москва, 5-6 февраля 1988.**<sup>102</sup>

Венедикт Ерофеев

Дневник

14 окт. 1956 г. - 3 янв. 1957 г.

Записки сумасшедшего.

I

Текст представляет собой сокращенную редакцию юношеского сочинения, имеющего форму дневника в пяти тетрадах. У тетрадей собственные несовпадающие заглавия, сохраняемые в данной публикации. Максимально сохранены также орфография и пунктуация подлинника во всей их противоречивости и непоследовательности. - Здесь и далее примеч. В. Муравьева.

14 октября

Стоп... чорт побери! Интересно, какому болвану... Какому болвану, спрашивается, интересно меня пугать в третьем часу... В третьем ли?... Да, вероятнее всего... Гм, в третьем... Кто бы это мог быть... Кретинизм же это в конце концов, чорт побери... Модернизм... Модернизм? Ха-ха-ха-ха-ха... Однако, милый мальчик... тебе слишком весело, я бы сказал... и совсем некстати... Но в расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь, прекрасна и что царственно величье... Топ... топ... топ... топ... топ... Топ... Однако. Веселость и романтическая интересуемость потихонечку покидают тебя, милый мальчик... Мд-а-а... я бы сказал, романтическая обстановочка... ни одного огня... черно... Но в

---

102 Издатели прилагают список ссылок на использованные в тексте работы В. И. Ульянова (Ленина).

Том и ссылка указаны по 5 изданию ПСС

Т. 47, стр. 120, 241. Т. 49, стр. 15, 51, 52, 56, 66, 79, 161, 404, 405, 406, 433. Т. 50, стр. 5, 50, 114, 142, 143, 165, 191, 192, 208, 219, 318, 325. Т. 51, стр. 31, 48, 52, 134, 216, 222, 273. Т. 52, стр. 38, 91, 93, 100, 123, 125, 128, 132, 155, 166, 196, 212, 263. Т. 54, стр. 87, 110, 136, 137, 149, 159, 160, 161, 177, 183, 243, 256. Т. 55, стр. 9, 15, 17, 18, 35, 53, 56, 88, 92, 109, 114, 123, 152, 242, 296, 303, 306, 307, 329, 348, 352.

Издатели предупреждают, что в некоторых случаях автор допускает вольное цитирование, не искажающее общие смысл, стиль и направленность работ В.И.Ульянова (Ленина).

расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь, прекрасна и что... Топ... топ... топ...  
...царственно величье холодеющих могил...

15 октября

Ни хуя-а-а! Алкоголь - спасение! Ни хуя-а-а!

17 октября

"Выбитый из колеи и потому выжитый из университета и потому выживший из ума..."

18 октября

Сожрем этику! Раздавим ее лошадиными зубами! Утопим ее в безднах наших желудков  
и оскверним пищеварительным соком! Зальем перцовой горькой настойкой!! Ах-ха-ха-  
ха-ха-ха-ха!!!

24 октября\*

\*День рождения Венедикта Ерофеева.

18/VIII. Кировск

- Бросим! Бросим! - Не надо норм! - Надо! Не больше 20-и строк и не меньше восьми!  
- К дьяволу максимум! - Все равно Венька перещепит! - Еррунда!.. Итак, начнем! Ну,  
тише, что ли... Даем срок 15 минут!! Рифма и ритм обязательно!! Если хоть одна строка не  
кончается прилагательным, автор торжественно провозглашается кретином! - Уррра!!! -

Занявший первое место провозглашается гением, шестое место - идиотом! - Брось!  
Начнем! Все равно останешься идиотом!!! - Молчи, Абг'ам! - Все! Тишина! Я уже засек!  
- Ч-ч-ч-ч-ч-ч! . . . . . - Все, братцы, кончаем!

Пятнадцать минут прошло! - Еще три минуты! Завершить... - Хватит!! - У меня  
бессмыслица, блядство какое-то! - У всех, блядь, бессмыслица! Венька, читай первый... -  
Да-ава-й! - Только, извините, у меня слишком длинное... и вам недоступно будет... - А у  
кого это доступно-то? Валяй! - Хгм.

Хладнокровно-ревнивая, Дева юная, страстная, Дева страстно-прекрасная, Боязливо  
стыдливая! Все томишься, бессильная Сбросить сети, сплетенные Жуткой жизнью, -  
могильною, Точно пропасть бездонная.

Точно пропасть бездонная, Точно призраки странные, Вас пугает туманное Жизни счастье  
стесненное... О не ждите неожиданного, Не зовите далекого, Навсегда одинокая Дева  
страстно желанная!

Дева страстно желанная, Вашу участь печальную Не изменит, безумная, Даже юность  
туманная И мечтанья блестящие Не воскреснет бесцельное, Не проснется мертвящее, Нет  
конца беспредельному!

Нет конца беспредельному, Беспредельность бесцельная, Как мечтанья бесплодные, Как  
напрасность прекрасного, Как бесстрастность свободного И опасность бесстрастного.

Только силы природные Сокровенность прекрасного!

Сокровенность прекрасного Только лик непрерывного, Созерцание дивного И обман  
сладоэротического, Только звуки желанного, Море смутно-прекрасное, Небо вечно-  
безмолвное, Ожиданье неожиданного...

Ожиданье неожиданного, Возрождение бесплодного... Несказанно-туманная Нежность  
силы природного В вас разбудит желанное Бытие несравненного, Благодать неизменного,  
Так не жди же неожиданного! Так не жди же неожиданного И не требуй далекого, Навсегда  
одинокая Дева страстно желанная, Дева смутно-прекрасная, Боязливо-стыдливая, До  
забвенья ревнивая, До безумия страстная!!!

- Бррраво! - Брррраво! - Я свою ерунду отказываюсь читать! - И я тоже! - Ерофеев -  
гений! Урррра!!!

Кировск. 20.VIII - Ну, сюжет давайте... - Сюже-эт!! - Давайте про убийство!.. - Эх ведь  
сюжетик! - Ну-ка, Фомочка, начни!.. - Гы-гы...

Иду я однажды по шпалам...

- Ну, идешь, блядь... - "А ночь темная была", да? - Ну вас на хер... Иду я однажды по  
шпалам, Вдруг... слышу пронзительный крик!

- На хуй! На хуй! - Посентиментальней! Веньк! Действуй!

Вдруг, слышу пронзительный...

- На хуй! Образов нет! Венька! За 5 минут!

Последний солнца луч погас за камышами, Безмолвье тайное окутало заливы, Беззвучно плача, шепчут тихо ивы, Последний солнца луч погас за камышами.

Деревня мирно спит. Но там, в туманной дали, Будящий тишину, звенит надрывным воем Безумный, дикий крик, не знающий покоя... Деревня мирно спит. Но там, в туманной дали, Кого-то режут...

- Прекрасная пародия, чорт побери! - Талант! Талант! - Би-и-ис! Брра-аво!!! - Веньк! Свою вчерашнюю штучку прочти нам... - А ну ее на хуй... - Боринька! За него!.. "На смерть пса"! Полон жизненной энергии, сердцем жаждущий гуманности, В краткой жизни не изведавший тайной муки наслаждения...

- Не то! Не то! Это "На смерть Сосо"!

Боже мой! Внемли рыданиям! Я убит родными братьями!

- Это оттуда же! - Мне последняя строчка нравится:

Только тихие стенания и неслышные проклятия.

- Веньк! Читай все... - А ну вас... Стесняюсь...

7-8 ноября

Чрезвычайно забавно. Почти пятнадцатиминутное созерцание только что извергнутой рвоты неизбежно поставило передо мной сегодня довольно-таки актуальный вопрос: Имеет ли рвота национальные особенности? Мысленное сравнение грузинской рвоты, извержение которой я только что недавно имел удовольствие созерцать в метро, - и этой, раскинувшейся похабно передо мной и всем своим крикливым видом с гордостью заявлявшей о своем русском происхождении, - не дало никакого положительного результата. А впрочем, легкое сходство есть... И это сходство еще раз заставило меня сожалеть о постепенном сглаживании национальных различий... Ах, если бы был Сосо!..

22 ноября

Как явствует из достоверных сообщений: Ерофеев на протяжении всего первого семестра был на редкость примерным мальчиком и, прекрасно сдав зимнюю сессию, отбыл на зимние каникулы. Не то суровый зимний климат, не то "алкоголизм семейных условий" убили в нем "примерность" и к началу второго семестра выкинули нам его с явными признаками начавшейся дегенерации. Весь февраль Ерофеев спал и во сне намечал незавидные перспективы своего прогрессирования. С первых же чисел марта предприимчивому от природы Ерофееву явно наскучило бесплодное "намечание перспектив", - и он предпочел приступить к действию. В середине марта Ерофеев тихо запил. В конце марта не менее тихо закурил. Святой апрель Ерофеев встречал тем же ладаном и той же святой водой, правда, уже в увеличенных пропорциях. В апреле же Ерофеев подумал, что неплохо было бы "отдать должное природе". Неуместное "отдание" ввергло его в пучину тоски и увеличило угол наклонной плоскости, по которой ему суждено бесшумно скатываться. В апреле арестовали брата. В апреле смертельно заболел отец. Майская жара несколько разморила Ерофеева, и он подумал, что неплохо было бы найти веревку, способную удержать 60 кг мяса. Майская же жара окутала его благословенной ленью и отбила всякую охоту к поискам каких бы то ни было веревок, одновременно несколько задержав его на вышеупомянутой плоскости. В июне Ерофееву показалось слишком постыдным для гения поддаваться действию летней жары, к тому же внешние и внутренние события служили своеобразным вентилятором. В начале июня брат был осужден на 7 лет. В середине июня умер отец. И, вероятно, случилось еще что-то в высшей степени неприятное. С середины июня вплоть до отъезда на летние каникулы Ерофеев катился вниз уже вертикально, выпуская дым, жонглируя четвертинками и проваливая сессию, пока не очутился в июле на освежающем лоне милых его сердцу Хибинских гор. Июльские и августовские действия Ерофеева протекли на вышеупомянутом лоне вне поля зрения комментатора. В сентябре Ерофеев вторгся в пределы столицы и, осыпая проклятиями вселенную, лег в постель. В продолжение

сентября Ерофеев лежал в постели почти без движения, обливая грязью членов своей группы и упиваясь глубиной своего падения. В октябре падение уже не казалось ему таким глубоким, потому что ниже своей постели он физически не смог упасть. В октябре Ерофеев стал вести себя чрезвычайно подозрительно и с похвальным хладнокровием ожидал отчисления из колыбели своей дегенерации. К концу октября, похоронив брата, он даже привстал с постели и бешено заходил по улицам, ища ночью под заборами дух вселенной. Ноябрьский холод несколько охладил его пыл и заставил его вновь растянуться на теплой постели в обнимку с мечтами о сумасшествии. Весь ход ноябрьских событий показал с наглядной убедительностью, что мечты Ерофеева никогда не бывают бесплодными. 9 декабря О-о-о! Только последнее и нужно было этим пьяным скотам... Разом заговорили все: - Э-эттика! Одно слово заставляет меня изрыгать тысячи проклятий по адресу... гм... гм... гм... - О-о-о-о-о!.. поддержите меня... иначе сей же секунд семья горлодеров, осмеливающихся произносить в приличном обществе это мерзкое слово, численно понесет урон!.. - Господа! А я, между прочим, имею совершенно серьезное намерение детально изучить этику, дабы оградить себя впредь от случайных следований ее законам... - Ах, господа, зачем толковать о таких неаппетитных вещах! Лично меня мучает один чрезвычайно любопытный вопросик... вот уже скоро 50 лет, как умолкли родовые стенания меня породившей!.. Я просуществовал полстолетия! я пережил 11 министров внутренних дел и 27 революций... - а я все еще силюсь разрешить вопрос, который отчеканит назубок заурядный школьник... дело в том, что я не вижу существенной разницы между удовлетворением полового желания - и физиологическим отпращиванием... - Кошмарная парраллель, я бы сказал... - Гм, молодой человек, я искренне сожалею, что вам, коллекционеру новейших истин, непонятно то, что выбрасывание половых секретов - не что иное, как заурядное физиологическое отпращивание... и в этом свете половая любовь предстает чем-то вроде мучений цивилизованного существа с переполненным мочевым пузырем, попавшего в великолепную и не менее переполненную гостиную, узревшего великолепный унитаз и не имеющего возможности извергнуть в него содержимое своих внутренностей!.. - О боже мой! Женщина - чувствительный ватерклозет!.. - Хе-хе-хе! А шестилетняя девочка - комфортабельная плевательница!.. - Лирика - плод томления человека, не знающего, куда высраться! - Ха-ха-ха-ха! - Да, да... По крайней мере, в половом влечении я не вижу положительно ничего высокого! Мне лично гораздо более удовольствия доставляет сидение на унитазе после сытного обеда, чем половые наслаждения и ласки самой что ни на есть умопомрачительно любимой, чччорт возьми!.. Ннет, господа, уж лучше срать в унитаз и заниматься онанизмом, чем овладевать предметом бешеной страсти, одновременно испражняясь на пол... Хе-хе... - О господа! Неужели же нельзя без половых извращений! Меня приводит в бешенство одно слово - "онанизм"! - А я считаю, что поползновение к онанизму - признак чувственной трусости, да, да, чувственной трусости... В лучшем случае - вторжения интеллекта в неприкосновенную, даже, я бы сказал, святую область эмоций!.. - Ах, какой вы, право, Утонченный Негодяй! Я лично, извините за нескромность, чрезвычайно страдаю интеллектуальностью своих эмоций: но, говоря откровенно, статья профессора Рихтера отбила у меня охоту к поискам новейших методов мастурбации... - Ох, уж эта пресса! Мне подобные статейки, наоборот, прививают любовь к извращениям; по крайней мере, шофер, изнасиловавший шестилетнюю девочку, в продолжение почти получаса был моим кумиром!.. - Между прочим, я не без успеха подражал вашему кумиру... и я могу вас ошарашить истиной, которая осенила меня в процессе "подражания" - "духовно богатый человек склонен к удовольствиям, не приносящим наслаждения оппоненту - источнику удовольствия"... - Шестилетняя девочка - оппонент!.. Гм... - Ну и как, истина помогла вам убедиться в богатстве своего духовного мира? - Перестаньте зубоскалить, молодой человек!.. и не считайте эрудированность показателем духовного богатства... у вас - искусство имитации мрачного скепсиса и мировой скорби - и тем не менее вы совершенно бездушны!!.. - Ах, какое, я бы сказал, глубочайшее проникновение в тайны моей

психологии!.. - У вас - психология!! Гм... - Кстати - о психологии! Не встречали ли вы, господа, тип людей, сознательно бегущих счастья и обрекающих себя на страдания, которым мысль о том, что только его сознательные действия превратили его в страдальца и что он был бы счастливым, если бы предусмотрительно не лишил себя счастья, - дает ему почти физическое наслаждение!.. - Это, так сказать, проституция жалости! -

Мастурбация страданий! Ха-ха! - И кроме того, не заметили ли вы, господа, что совершенно необязательно быть тонким психологом, чтобы прослыть им... Не нужно только уходить из области большой психологии и касаться психически уравновешенных... - О-о-о! Психическая неуравновешенность - моя мечта! - и, смею сказать откровенно, в мечтах я уже - сумасшедший! О, вы не знаете, что такое бессонница мечты... и мечты, воспаленные от бессонницы... - Боже мой! Как это плоско - кичиться своей мечтательностью! Лично я, еще будучи младенцем в стадии утробного развития, искренне ненавидел мечтателей!.. Мечты - презрение к воспоминаниям!.. - Ах! В таком случае вы должны восхищаться мной! Для вас я - Заурядный Болван, а ведь я в некотором роде неповторим... Я, может быть, единственный человек, который живет исключительно воспоминаниями... и, смею вас заверить, я - единственное цивилизованное двуногое, тщетно жаждущее найти среди разноцветной груды своих воспоминаний хоть одно приятное... - А меня, господа, всю жизнь томит заурядность... О-о! Сколько раз уже я посылая проклятия по адресу всевышнего и "Исключений из закона наследственности"!..

Я неутомимо удовлетворял похоти самок, пользующихся самой что ни на есть двусмысленной славой - и не заразился триппером! я бешено ударялся головой о Кремлевскую стену - и не мог выбить ни одной капли здравого разума! в продолжение трех суток без перерыва я безжалостно резал свое ухо диссонансами пастернаковских стихов и национального гимна Эфиопии - и, как видите, не сошел с ума!.. Ах, господа, я плакал, как ребенок! Я проклинал чугунность своего хуя, лба и нервов и коварство вселенной... - Боже мой! Как все это

извращенно! ..... Все мгновенно смолкли. И мне пришлось почти с благодарностью взглянуть на торжествующего негодяя. Хотя все произнесенное мне импонировало, унисонило, - как вам угодно.

17 декабря

А собственно говоря, какого чорта позавчера я вспомнил о Ворошнинной? Неужели мне мало августа? И я не радовался в октябре ее "аресту за преднамеренное устройство взрыва" на 3-м горном участке?.. И ведь это - ее вторая судимость!.. Собственно говоря, я только на зимних каникулах заинтересовался ее выходками... и если бы не статья в "Кировском рабочем", я, может быть, и вообще бы не вспоминал о ней... Но ведь, что бы там ни говорили, она - моя одноклассница... и притом единственная из всех наших выпускников, с которой мне пришлось школьничать с первого по десятый класс включительно... И даже получением аттестата она в некоторой степени мне обязана... Нет, нельзя сказать, чтобы я действительно питал к ней нежные чувства... А детское увлечение постепенно улетучилось... Просто - мы несколько откололись от основной массы школяров и в 10-м классе были водонеразливаемы, совершенно не поддерживая связи с классом... Откровенно говоря, меня пленяли ее хулиганские выходки на занятиях, тем более что я поражал всех скромностью и прилежанием... А после инцидента с ком. билетом она уже бесповоротно стала кумиром в моих глазах... хотя в школе слыла легкомысленной идиоткой с проституционными наклонностями... Меня же лично мало интересовали ее наклонности... Я даже не удивлялся ее провалу при поступлении в институт и слишком легкомысленному восприятию этого провала. Меня взбесило только ее исчезновение из Кировска как раз в момент моего триумфального возвращения, - я даже не мог похвастаться перед ней поступлением в Величайший. С первых же групповых занятий в университете меня несколько заинтересовала Ант. Григ. - "усеченная и сплюснутая Ворошнина" - и я искренне ее возненавидел... В декабре, признаться, я был несколько ошарашен письменными извещениями Бориньки о привлечении Ворошнинной к

суду за недостойность... Тем более, что после "самоповешения" отца она должна была несколько охладить свой пыл... Прибыв на зимние каникулы, я с удовлетворением воспринял экстренное сообщение Фомочки, весь смысл которого сводился к тому, что он (т. е. Фомочка) - может быть, единственный представитель мужской половины Кировска, не испытывавший удовольствия покоиться на пышных прелестях моего кумира... и сразу же вслед за этим сообщение Бориньки о том, что соревноваться с Ворошниной в изощренности мата не решается сам Шамовский... Я без промедления благословил ее выносливость и изобретательность... ..И единственное, чего я опасался теперь, - случайного столкновения с ней... Последнее, может быть, и не состоялось бы вообще, если бы 1-го февраля Бориньку, Минечку и Витиньку не пленило звучание одного из шедевров индийского киноискусства. Сказать откровенно, я слишком туманно воспринимал трели Бейджу Бавры, потому что непрерывная трескотня соседок, циничная поза сидящей справа Ворошниной - и вследствие этого тоска по цивилизации убили во мне способность к восприятию классических творений джавахарлаловых подданных... Назавтра Витинька, удовлетворенно зубоскала, констатировал: "Ерофеев дико смутился, когда увидел, что Ворошнина покинула веселые передние ряды и в сопровождении трех подозрительных девиц двинулась прямо по направлению к нему, презрительно окидывая взглядом переполненный кинотеатр и неестественно кривляясь"... Правда, Витинька одновременно выражал сожаление в связи с тем, что они втроем вынуждены были внять вызывающе деликатной просьбе Ворошниной "поменяться местами" - и бросить меня на произвол пьяных девиц... И я, признаться, тоже сожалел... Во всяком случае, меня не восхищала перспектива в продолжение двух часов вдыхать запах водки и пережженных семечек изо рта Ворошниной, невообразимо краснеть и деликатно приобщаться к ее бесстыдной и стесняющей позе... Впрочем, я покинул кинотеатр чрезвычайно довольный собой - я вежливо отказался навестить ее в общежитии и, кроме того, уже не ощущал на себе кошмарного нажатия ее пышных прелестей... Последующие 8 дней пребывания в Кировске протекли целиком в пределах четырех стен Юриковой квартиры, - в стороне от трезвости, Ворошниной, снежных буранов и северного сияния... На первом же занятии по немецкому Антонина Григ. Муз. попала в поле моего зрения, и мне, без преувеличения, сделалось дурно... В продолжение всего второго семестра я неумоимо прославлял дегенерацию и, стиснув зубы, романтизировал... А лето совершенно уронило взбесившегося кумира в моих глазах... Правда, и я летом числился уже в сознании кировских граждан не как "единственный медалист" и "единственный лениногорец", а скорее как неумоимый сотрапезник Бридкина... К началу августа я вынужден был выработать иммунитет на восприятие любопытных взглядов - и, между прочим, не без благотворного влияния Лидии Александровны, представшей передо мной уже на следующий день после моего приезда в героический заполярный город... Правда, в этот раз я несколько удивил ее утратой скромности и смущаемости и удачным ответом на традиционное приветствие... Она же, в свою очередь, поразила меня изумительной способностью к бесконечному округлению даже при ежедневном воздействии алкоголя и еженощном испытывании давления со стороны комсомольских тел... Кроме того, разминая онемевшую конечность, я внутренне пособлезновал всем тем, кому приходится здороваться за руку с этой смеющейся скотиной, а внешне сделал неудачную попытку отказаться от приглашения. В этот день она была несколько сдержанна и даже извинилась, когда случайно вставила мат в сногшибательную характеристику проходившей мимо рыжей девицы... Два последующие совместные культпохода в "Большевик" несколько нас сблизили, и потому в начале августа я даже без трепета перешагнул порог ее комнаты. В продолжение 2-х часов я тщетно пытался привыкнуть к одуряющему запаху духов и охотно внимал трескотне своего оппонента... Сначала я устно выразил восхищение кротостью ее соседки, которую грубое приказание Ворошниной вынудило незамедлительно и безропотно покинуть "постоялый двор кировских Дон Жуанов"... Потом с напускной неохотой помог ей допить "Столичную" и совершенно

искренне восхищался ее изобретательностью в отношениях с посетителями... Правда, последний ее рассказ настолько меня смутил, что я в продолжение 5-и минут безуспешно пытался согнать краску со своего лица и поднять глаза от стакана... Дело в том, что как-то весной к ней пожаловали три первокурсника МУ, видимо чрезмерно распаленные хвалебными отзывами о ней и подстрекаемые сообщениями о "легкости" ее "уламывания"... И она, радушно встретив пьяных студентиков, не замедлила выкинуть несколько невероятных штук перед их восхищенными взорами... В конце концов, она заставила всех трех пасть на колени и лизать свои подошвы... - и, в довершение всего, прогнала распаленных посетителей, предварительно избив одного за "недостойность"... И все это - с непременным хохотом, умопомрачительным смакованием фактов и периодическим потягиванием из стакана... Положительно в этот вечер она мне безумно нравилась... Нет, я совершенно искренне восхищался ее умением требовать у кировских самцов раболепного поклонения в отношении к своей особе... Правда, я с трудом верил ее пьяным рассказам... ведь незадолго до этого она даже попросила меня отвернуться, когда подтягивала чулок... Я решительно не понимал ее... Созерцая эту самодовольную, милую, пьяную физиономию, я никак не мог поставить ее рядом с той чистенькой первоклассницей, которая сидела со мной за одной партой и поминутно меня обижала... Часов в 9 я покинул общежитие в состоянии романтически пьяной влюбленности... До самой железной дороги идущая рядом Ворошнина непрерывно была встречаема насмешливыми приветствиями, которые вызывали в ней почему-то дикий хохот... Признаться, я был оскорблен, когда уже на следующий день Рощин через Бориньку выразил сожаление по поводу того, что мне "не повезло с Лидкой", а Тамаре Васильевне порекомендовали "держать в руках своего медалиста"... Впрочем, я и сам лично убедился 7-ого августа в неизлечимой тупости молодого поколения Кировска. Меня просто взбесило нахальство ГХТ-товцев, которых не отрезвляли даже пощечины Ворошнинной. А эта отвратительная сцена у киоска даже ослабила мою охоту иметь дальнейшее общение со своим благодетелем... И, главное, меня раздражало ее легкомысленное отношение к своим собственным действиям и к своей популярности... Нет, я совсем не собирался ее убеждать, потому что единственной реакцией на мои убеждения было бы идиотское ржание... к тому же я слишком боялся ее, чтобы решиться на убеждение... Единственный раз я почувствовал к ней что-то вроде жалости - в воскресенье 12-ого числа на вечере отдыха в Парке... Ее отвратительный вид чуть не вызвал у меня тошноту, - тем более что Бридкин в этот день был навеселе и с полудня неумолимо вливал в меня какую-то бурду, орошая слезами память моего родителя и судьбу единоутробного брата... Веселость моментально покинула меня, когда я узрел в распластавшейся за ларьком девице Лидию Александровну... Ее, вероятно, только что бешено рвало, белая кофточка была вымазана в чем-то отвратительном, мокрое платье слишком неэстетно загнуто... Уговоры Бориньки заставили меня оторваться от созерцания страдальцы... Но удивительно - я совершенно не чувствовал брезгливости, я только бешено ненавидел этих мерзких типов, которые ее споили и, изнасиловав, оставили в грязи под проливным дождем... Придя домой, я снова перечитал полученное накануне письмо Муз. с жалобой на жизненные страдания - и дико расхохотался... А во вторник мне пришлось вновь возмущаться веселостью Ворошнинной... Она бессовестно восторгалась прошедшим воскресеньем, поминутно извинялась за нецензурность - и я, к ужасу своему, убедился, что она и сегодня пьяна ввиду увольнения с РМЗ. ...Нет, ее совершенно не волновало лишение работы, она воинственно восседала на перилах Горьковской библиотеки, жонглируя моим Ролланом и качая ногами перед самым моим носом, и продолжала невозмутимо язвить по адресу МГУ, любви, человечьих страданий, Надсона, Муз. и - моей детскости... А 16-ого числа, с этого противного вечера одноклассников, началось самое главное... И удивительно то, что я упивался ее действиями, явно рассчитанными на то, чтобы отравить атмосферу школьным питомцам... Она хорошо знала, что пользуется дружным презрением "девушек-одноклассниц" и тем не менее решила явиться на вечер без приглашения, дабы произвести

сенсацию сначала своим приходом, а потом своими очаровательными шалостями. Правда, наш совместный с ней приход на вечер произвел далеко не сенсацию; я вынужден был констатировать всеобщее уныние и одновременно, затаив злобу, отразить несколько мрачных взглядов... Однако я понял с первой же минуты, что "очаровательными шалостями" Ворошнина если не произведет фурор, то, по крайней мере, заставит разойтись эти полторы дюжины впавших в уныние одноклассников. Последние несколько не были удивлены, когда Лидия Ал. церемониально извлекла из внутренних карманов пальто 2 прозрачных бутылки и цинично заявила, что "даже Веничка" считает их содержимое чрезвычайно полезным для желудка... Я, стараясь усилить невыгодное впечатление, произведенное ее словами, поспешил подтвердить гигиеническую верность гениальной фразы моего кумира... В продолжение получаса Ворошнина торжествовала... И, казалось, ее совершенно не смущало то обстоятельство, что только я один осмеливаюсь разговаривать с ней и что мы в некоторой степени обособились. ...Захарова своим неуместным затягиванием "Школьного вальса" развязала, наконец, ей руки - и с этого момента я с нескрываемым восхищением следил за всеми ее движениями... Прежде всего, заслуша робкую "пробу" Захаровой, она дико заржала, вызвав недоумение всех собравшихся, затем флегматично сообщила всем о своем презрении к песням вообще - и, в довершение всего, ошарашила милых одноклассников нецензурной приправой к своему лаконичному признанию... Фурор был неотразим... Я, признаюсь, проникся даже пьяной жалостью к этим девицам, которые - вместо того чтобы прогнать возмутителя спокойствия, уныло справились друг у друга о времени, о погоде и стали медленно одеваться... А Ворошнина продолжала неумоимо хихикать, ерзая по стулу и по моей ноге... Нет, я несколько не жалел о безжалостном разрушении вечера... Я охотно помогал ей смеяться над письмом Муравьева и допивать водку из горлышка. Я так же охотно согласился бы сидеть до конца летних каникул на этой куче ж/д шпал под морозящим дождем и позволять обращаться с собой, как с грудным ребенком... Я преклонялся перед этой очаровательной пьяной скотиной, которая могла делать со мной все, что хотела... На следующий день я от нее же узнал, что она не могла добрести до своей комнаты - и на лестнице ее мучительно рвало... Вечер 18-ого числа совершенно неожиданно отрезвил меня... Первый же рассказ, которым меня встретила Ворошнина и который больше походил на похабный анекдот, до такой степени озлобил меня, что я утратил всякую боязнь - и осторожно послал ее к черту... В ответ она по традиции глупо заржала и пообещала завтра же всем сообщить, что она послана к черту самим Ерофеевым... В тот же вечер ее в совершенно пьяном состоянии и отчаянно ругающуюся вывели из танцевального зала 2 рослых милиционера и препроводили в отделение... При этом ей за каким-то дьяволом понадобилось громогласно вопить, что она не виновата и что ее споил Ерофеев... Наконец, ее поведение 21-ого числа на "Пламени гнева" вынудило меня даже удалиться из кинотеатра под дружный хохот окружающих ее девиц и всеобщее недовольство зрителей... С этого вечера я уже совершенно ее не понимал; меня бесило то, что она слишком чутко внимала Рошинской клевете; я не мог себе представить, чтобы Ворошнина мне верила меньше, чем оскорбительным сообщениям заурядного Петеньки; я положительно возненавидел ее... 23-его числа, заметив ее, возвращающуюся из рудника в сопровождении 2-х чумазых подростков, я вынужден был предусмотрительно свернуть вправо и профланировал параллельно. Когда же до меня донесся веселый смех этих трех скотов, гонящихся друг за другом и осыпающих матом все и вся, мне стало дурно, у меня помутилось в глазах... Я готов был сию же минуту исплевать Заполярье и благословить Московскую непорочность... Меня тошнило от Кировска и от непрерывного пьянства... И 24-ого я уже действительно плевался, когда, сидя ночью на скамейке, узрел Ворошнину, проплывающую мимо школы. Я до такой степени растерялся, что не успел убраться в темноту - эта скотина уже предстала перед скамейкой и, умопомрачительно изогнувшись, затрясла передо мной всеми своими прелестями... Я поспешил справиться, что должна означать эта многозначительная пантомимика - она ошарашила меня в ответ довольно

остроумным контрвопросом: "Хотите ирисок, Веничка?", - и затем, видимо удовлетворенная моим отказом, не меняя дикции, выразила сожаление по поводу того, что более многоградусное осталось дома, флегматично погладила свои бедра и, мазнув меня по лицу всей своей массой, вразвалку направилась к шоссе. А в ответ на свое душевное: "С-с-с-скотина!" я опять услышал это идиотское ржание - и застучал зубами от холода... Возвращаясь домой, я почему-то вспомнил, как, будучи семиклассником, мелом разбил стекло и потом робко укорял Ворошнину за то, что она взяла вино на себя... Тогда она смеялась ласково, по-детски... Вечером 26-ого я уже переехал Полярный Круг, совершенно не вспоминая об утраченном кумире... В конце октября, уже будучи в Москве, я с удовлетворением узнал о ее аресте и с тех пор ее судьбой не интересовался... Да и, собственно, какого дьявола меня должна волновать ее судьба... если она сама за всю жизнь не смогла выдавить из себя ни одной слезы... ...и ее участь никто никогда не оплакивал...

18 декабря Пи-и-ить! Пи-и-ить! Пи-и-ить, ттэк вэшшу ммэть!!!

30 декабря

Да, да! Войдите! Тьфу, чорт, какая идиотская скромность... Ну, так как же, Вл. Бр.? Вы отказываетесь? А у вас, это, между прочим, так неподражаемо: "На-а-а земле-е-э-э ве-эсь род..." А мнения все-таки бросьте, пожалуйста... И "женскую душу", и "женскую натуру" - тоже бросьте... Да и возлагать на меня не стоит... Да входите же, еби вашу мать! А! Это вы! Стоило так долго стучаться! Хе-хе-хе, ну как, что новенького? Что?! Даже откровенничать! Ха-ха! Откровенничать! Обнажаться, значит... Ну, что ж - прреподнесем, прреподнесем! Совершенно одна! Хи-хи-хи-хи!.. Да, да, конечно, это до чрезвычайности трагедийно... Единственное - старушка-мать... И не издохла?.. Да нет же, я хотел спросить: "И вы очень ее любите?"... Да неужели?! И вы - не спились, не взрезали перси?.. Ну да, конечно, конечно, "единственное старушка-мать" и больше никого, совершенно никого... И тем не менее уйдите!.. Да нет же! Не на хуй!.. Просто - уйдите... Да не глядите же на меня так! Чем я, собственно, провинился?.. Бросьте это, А. Г., серьезно вам советую - бросьте!..

Ведь мы же, в конце концов, вчера снова обменялись взаимными плевками и теперь, по меньшей мере на неделю, зарядились злобой... И у меня сегодня просто нет настроения торговать звериными инстинктами... Угу! всего! Да, да! А. Г., вас давно сняли с веревки?..

Как! Вас и не поднимали?! Ха-ха-ха! Вы только послушайте - как она мило острит!.. Значит, вас серьезно не снимали?.. Ах, да! Как я мог снова перепутать? Эй!.. Да нет, это я не вам... угу, до свиданья... Эй! Лидия Александровна!.. Ну, как вы там? А? Хе-хе-ххе-хе-хе! Ах, ну дайте же, я паду ниц! Что? Как это так! - не стоит! Как будто бы я не падал шестнадцатого!.. Фу! Какие у вас ледяные ноги!.. И этот ебанный буран еще раскачивает их! Чччортт побери, ведь ровно год назад и в такой же буран он здесь качался!.. И ваш покойный родитель тоже... ха-ха-ха... тоже! Ах, как вы плакали тогда, Лидия Александровна, как мило вы осыпали матом вселенную и неудачно имитировали сумасшедший бред... Хи-хи... Нет, не врите... Вы не были потрясены! Вы издевались, чччорт, вы хихикали!.. Да прекратите же, в конце концов, раскачиваться... Хоть после смерти-то ведите себя прилично и не шуршите передо мной ледяными прелестями... Я не горбун Землянкин! Хе-хе!.. Вот видите - вы даже можете хорошо меня понимать!.. Когда речь заходит об августовских испражнениях, вы непременно все понимаете... Ах! Вы уже не сможете теперь испражняться так комфортабельно и так... непосредственно... А ведь он, смею вас заверить, трепетал от умиления... И я почти завидовал ему! Слышите ли? - завидовал!! Еще месяц - и я раболепствовал бы в высшей степени... Как вы были очаровательны тогда, тьфу!.. Вы мне позволите, конечно, еще раз прикоснуться губами... Да нет же! Что еще за буран! Вы - каменная глыба! Вы - лед! И тем не менее вы продолжаете гнутья! Какой же еще, к дьяволу, буран! Ха-ха-ха, вы притворяетесь, что не слышите меня! Вы нагло шуритесь! Вы прельщаете!.. Хе-хе... Пррельщаете! А водка-то льется, Лидия Александровна! Льется... еби ее мать!.. щекочет трахею... сорок пять

градусов! Хи-хи-хи-хи, сорок пять градусов!.. Шатены... хи-хи-хи... брюнэты... блондины... Триппер... гоноррея... шанкр... сифилис... капруан... фильдекос... креп-

жоржет... Их-хи-хи-хи-хи!.. А Юрик-то... помните... кххх - и все!.. Кххх! - И все!!! И северное сия-яние! Северное сия-а-ание!..

3 января

Вот видите - вам опять смешно. Вы не верите, что можно вскармливать нарывом. А если бы вы имели счастье наблюдать, то убедились бы, что это даже достойно поощрения. И сейчас я имею полное право смеяться над вами. Вы не видите, вы не внемлете моим гениальным догадкам - и не собираетесь раскаиваться. А я созерцаю и раздраженно смиряюсь. "Значит, так надо". "Мало того - может быть, только потому-то грудь матери окружена ореолом святости и таинственности". Ну, посудите сами, как это нелепо! Я пытаюсь даже рассмеяться... И не могу. Меня непреодолимо тянет к ржанию - а я не умею придать смеющегося вида своей физиономии... Я сразу догадываюсь - мороз, бездарный мороз. Мороз сковывает мне лицо и превращает улыбку в идиотское искривление губ. Я воспроизвожу мысленно фотографию последнего номера "Московской правды"... обмороженные и тем не менее улыбающиеся физиономии... Проклинаю мороз и разуверяюсь в правдивости социалистической прессы. Дальнейшее необъяснимо. Ребенок обнажает зубы, всего-навсего - крохотные желтые зубы... Обнажение ли, крохотность или желтизна - но меня раздражает... Я моментально делаю вывод: "Этому тельцу нужна вилка. И не просто вилка, а вилка, исторгнутая из баклажанной икры". Ребенок мотает головой. Он не согласен. Он кичится своей разочарованностью и игнорирует мою гениальность. И эта гнойная... эта гнойная - торжествует! Я вынужден вспылить! Как она смеет... эта опьяненная сперматозоидами и извергнувшая из своего влагилица кричащий сгусток кровавой блевоты... Как она смеет не удивляться способности этого сгустка к наглому отрицанию!.. Но рука не подымается. Мне слишком холодно, и я парализован. Я сомневаюсь - достанет ли сил протереть глаза... Можно и не сомневаться. Я лежу и выпускаю дым. В атмосфере - запах баклажана. А в пасти хрипящего младенца все тот же сосок, увенчанный зеленым нарывом... Сам! Сам встану!

Дневник

4 января - 27 января 1957 г.

Продолжение записок психопата. II

4 января

Встретив лицом к лицу, робко опустить голову и пройти мимо в трепетном восторге и смущении... ...проводить взглядом удаляющуюся фигуру - и, хихикнув, двинуться вослед... ...осторожно ступая, подкрасться - и нанести искросыпительный удар по невидимой сзади физиономии... ...не предпринимая никаких попыток к бегству, по-прежнему робко опустить голову и безропотно упиваться музыкой устного гнева... ...неутомимо льстить, лицемерить, петь славословия, свирепо раскачиваться, яростно извиняться, - пасть на колени и лобызать все что угодно... ...рабским взглядом поблагодарить за ниспосланное прощение и убедить в неповторимости происшедшего... ...на прощание - ласково солидаризироваться в вопросе о нерентабельности поэтической мысли... ...при возобновлении удаления - издалека нанести удар чем-нибудь тяжелым и тем самым обнажить отсутствие совести и способность на самые непредвиденные метаморфозы... ...и продолжая свой путь, заглушать тыловые всхлипывания и мстительные угрозы напевами из Грига.

5 января

Утром - окончательное возвращение к прошлому январю. Тоска по 21-ому уже не реабилитируется. Нелабильный исход - не разочаровывает. Даже по-муравьевски тщательное высушивание эмоций и нанизывание на страницы зеленых блокнотов - невозможно. Высушивать нечего. Впервые после 19-го марта - нечего. Пусто.

7 января

Помните, Вл. Бр.? - Вы говорили: "Ерофеевы - тля, разложение, цвет, гордость. О Гуциных не говорю... Мамаша эта твоя, Борис и сестры - просто видимость, Гуцины, мамашин род... Эти просуществуют... А Ерофеевыми горжусь... Папаша в последние

минуты всех посылал к ебеней матери... а тебя не упоминал вообще... Мать, наверное, говорила тебе?... ..Еще налить? Двадцать лет в лагере - это внушительно... И Юрик прямо по его стопам... Водка и лагерь - ничего нового... Совершенно ничего нового... А это плохо... Скверно... Спроси у любого кировчанина - каждый тебе ответит: Юрий - рядовой хулиган, Бридкина наместник - и больше ничего... На тебя все возлагают надежды... Ты умнее их всех, из тебя выйдет многое... Я уверен, я еще не совсем тебя понимаю, но уверен... А за университет не цепляйся... И не бойся, что в Кировске взбудоражатся, если что-нибудь о тебе услышат... Все равно - ты уже наделал шума с этими своими тасканиями, Тамара уже смирилась и мать - тоже... И не бойся тюрьмы... Главное - не бойся тюрьмы... Тюрьма озверивает... А это - хорошо. Бандиты эти грубые, бесчувственные - но не скрывают этого... Искренние... А ваши эти университетские - то же самое, а пытаются сентиментальничать... Умных мало - а все умничают... Чувствовать умно надо, чувствовать не головой, но умно... А ваши эти все - холодные умники... Тебе с ними не по пути... Они просуществуют, как твои Гуцины... Они не хотят существовать просто так... Они в мечтах - мировые гении... И, мечтая, существуют... Я знаю этих типов, я сам учился в университете... и - знаю... Они чувствуют - когда есть свободное время... И даже сладострастничают - только внешне... Я - знаю... Они могут доказать ненужность того, чего у них нет... и для них это признак ума... Главное для них - чистота... чистота своих чувствий... А их, этих чувствий, у большинства, почти у всех - немного - и содержать их в чистоте - нетрудно... Они, эти цивилизованные, будут ненавидеть тебя говорю совершенно серьезно - ненавидеть! Все запоминай... и всем - мсти... Извини, что я, пьяный, учу тебя - вместо родителя... Ты - особенный, только на тебя и можно возлагать надежды... Главное - избегай всегда искренности с ними, - немного искренности - и ты прослывешь бездушным, грязным, сумасшедшим... Ты! - бездушный и грязный! Хе-хе-хе-хе... Налить еще, что ли?"

8 января

О! Слово найдено - рудимент! Рудимент!

9 января

Даже для самого себя - неожиданно: Оскорбленный человек первый идет на примирение, а я не достаиваю взглядом, спокойно перелистываю очередную страницу "Карамазовых" и - не подымая головы - лениво: Катись к чорту. И ничуть не смущает ответное скрежетание: Ид-диот. Все - спокойно, умеренно злобно, внешне - почти устало, без излишней мимики, а тем более - дрожи... Удивительно, что спокойствие - не только внешнее... По-прежнему шуршат "Карамазовы" - и никакого волнения.

10 января

.....

11 января

Каюсь публично! - Пятого числа бессовестно лгал! И эти мои словечки - все ложь!! И - никакой "пустоты"! Очередное кривляние - только и всего! И я вам докажу, что нет никакой "пустоты"! Докажу!! Сегодня же! Вечером!! Прощайте!

12 января

Темно. Холодно. И завывает сирена. Отец. Медленно поднимает седую голову из тарелки; физиономия - сморщенная, в усах - лапша, под столом - лужа блевоты. "Сыннок... Извини меня... я так... Мать! А, мать! Куда спрятала пол-литра? ...А? Кккаво спрашиваю, сстарая сука!! Где... пол-литра? Веньке стакан... а мне... не могу... Ттты! Ммать! Куда..." Шамовский. Отодвигая стул. "Бросьте, Юрий Васильевич, это вам не идет!.. Хоть жены-то постесняйтесь... ведите себя прилично..." Встает, длинный, изломанный, с черной шевелюрой... делает два шага - и падает на помойное ведро... Харченко. Нина. Лежит в красном снегу, судорожно извивается. "И-ирроды! За что!.. В старуху... Тюррре-э-эмни-ки-и!.. Тюре-е..." Юрий. Невозмутимо. "Пап, заткни ей глотку". Ворошнин. Вскакивая. "Не позволю! Не позволю! Без меня никто работать не будет! Директора убью! Сам повешусь!! А не позволю!.. Боже мой... Сил моих нет!.. Все, все - к ебеней матери!" Викторов.

Совершенно пьяный. Кончает исповедываться, хватая вилку и, упав на стол, протыкает себе глаз. Бридкин. Недовольно поворачивая оплывшую физиономию. "А-а-а... опять... москвич... Ну-ну... Ты слышал про Шамова? Нет?.. Вчера ночью... застрелился... И мне за него стыдно, не знаю - почему, а стыдно... Садись, я заплачу... Эй! Ты! Толстожопая!

Еще триста грамм... Застре-лил-ся... Никого не предупредил, кроме сына... Это - хорошо..." Юрий. Прохаживается взад и вперед. Пинает все, что попадает под ногу. Взгляд тупой. "Тюрьма все-таки лучше армии. Народ веселый... Вчера в дробильном цехе работали, двоим начисто головы срезало под бункером, все смеялись... и я тоже. Бригадир спойл, ни хуя не понимали, я даже ничего не помню... Я вообще пьяный ничего не помню... и не соображаю... делаю, что в голову придет... забываю вот только вешаться... пришла бы в голову мысль обязательно бы повесился. Это, говорят, интересно, - вешаться в пьяном виде, один у нас хуй вешался, рассказывал - как интересный сон, говорит..."

Андрей Левшунов. Вдруг поднимает голову и, схватившись за грудь, начинает яростно изрыгать в стакан. В бессилии откидывается на спинку стула; затем неожиданно хватается за стакан, выпивает до дна - и снова наполняет. И так бесконечно, и под хохот одобрения.

Ворошнина. Лежит под одеялом. Потягивается. "Ба-а-а... Венчик!.. проходи, проходи, садись сюда... (Валинька! Вышвырнись-ка, милая, на полчаса... угу...) ...да ближе, вот сюда, на постель, какого черта еще стесняешься... Ну, тепло?.. хи-хи-хи-хи... скромность-то где... и по-матерински согреть нельзя... ребенок - и все... может, тебе еще свою титьку дать... вот уж интересно, как бы ты стал сосать... хи-хи... а мне целовать нельзя, - хуй знает - может я вся - заразная, венерическая... Ну, чего ты пугаешься? Уй, какой ребенок... Ну-ка, Венчик, наклонись, от меня пахнет? Нет? Ну - ты наверно, сам наглотался и не чувствуешь... Хи-хи-хи..." Бридкин. Оживляясь. "Хе-хе-хе-хе... Вчера ваш этот, Сашка, был у меня...

Слышал? Баба-то недосмотрела... В собственной блевоте задохнулся. Насмерть. Лежал вверх лицом и задохнулся... Все перепились, гады, и не обратили внимания... Жаль, ты вот не пришел... Тебя ждали... А этот теперь уже в больнице. На "скорой помощи" ночью увезли... Все равно уже... Говорят, из легких капустные листья вынимали... Врут, наверное..." Фаина. Закрыв лицо. "А ты думаешь - я не плачу, я больше ее плачу, если хотите знать, больше всех... Ей "душно"! А мне - нет, что ли? Душно ей!.. Ха-ха-ха! Ведь выдумает тоже - душно!.."

13 января

Сначала - странное помутнение перед глазами. Помутнение, которое бывает у людей болезненных от резкого перехода в вертикальное состояние... Потом и все существо завлакивается той же мутью... И я засыпаю... Я не просто засыпаю. А засыпаю с таким ощущением, будто усыпление идет откуда-то со стороны: меня "засыпают", а я осторожно и безропотно, дабы не огорчить их, поддаюсь усыплению... Постель, оставаясь верной традиции, опускается куда-то вниз (в Неизвестность или куда-нибудь еще... безразлично), - а я словно отделяюсь от нее и на ходу моментально соображаю, что мое "отделение" - совсем даже и не вознесение в бесконечность, а самая что ни на есть заурядная потеря ощущений... Каждый день я засыпаю именно так - и нисколько не жалею, что широчайший диапазон всех прочих методов засыпания мне недоступен... А сегодня со мной творится нечто странное. Даже не со мной, а с постелью, которая в категорической форме изъявляет свое нежелание опускаться в отведенную ей Неизвестность... И не только отказывается; а словно издевается над тем, что я не могу, в силу ее статического состояния, теряя одно за другим свои наглые ощущения, потихоньку улетучиваться в Бесконечность... (ну, да ладно, пусть - "Бесконечность"). Но я ничуть не разгневан. Наоборот, я чрезвычайно доволен тем, что мое ложе наконец-то вышло из повиновения...

Это - своего рода восторг, выражаемый по поводу пробуждения национального самосознания чего бы то ни было... черта, свойственная мне... да еще, может быть, паре миллионов самых оголтелых коммунистов... Но в данном случае мой восторг несколько умеряется тем, что мой (мой собственный! хе-хе) круп играет незавидную роль горизонтально распластавшейся метрополии и потому не может испытывать особенной

радости от созерцания обнаженных суверенитетов... И самое непредвиденное - и самое раздражительное для меня - это зверский холод, который охватывает понемногу мое ложе и, следственно, - меня самого. Я поворачиваюсь на бок и силюсь разгадать причины беспочвенного похолодания. Я пробую вслух проследить температурную эволюцию моего ложа но вслушавшись в свою речь, с неудовольствием замечаю, что с уст моих срываются рассуждения на темы слишком далекие от каких бы то ни было эволюций... В конце концов, меня заинтересовывает тот факт, что моя устная речь, как будто из презрения к ходу моих мыслей, течет в совершенно другом направлении... Ччорт побери... Значит, я сплю! Сплю! Потому что только во сне может иметь место такой безнравственный разлад!

И мысль о том, что я все-таки заснул, заснул несмотря ни на что, очаровывает меня до тошноты... со слезами умиления я прощаю своему ложу и отказ от эвакуации в Неизвестность, и попытку спровоцировать температурный путч... Все! Все прощаю! И уже с нескрываемым интересом слежу за направлением своих устных высказываний, кому-то возражаю, озлобляюсь, угрожаю 51-ой статьей... - Ну да, конечно, я вполне с вами согласен... И удои, и удои повысятся непременно! Еще бы - не повысились удои!.. Ну, уж а это, пожалуйста, бросьте... Где она может помещаться, эта задняя нога... И почему - именно у Кагановича - задняя нога!.. Чорт побери, если бы вы заявили, что у Энвера Ходжи - два хуя, я бы и не стал возражать вам... как-никак, принадлежность к албанской нации - веский аргумент... Но... у Кагановича задняя нога!.. Это уже слишком, молодой человек!.. Мне, в сущности, все равно, кому я возражаю. Мне абсолютно наплевать, кто мой оппонент - Спиро Гуло, Вавилонская башня или Бандунг... Мне просто доставляет удовольствие разбивать положения вымышленного оппонента - и в пылу дискуссии я имею полное право называть его не только "молодым человеком", но и, если угодно, ослом. Кто, в конце концов, сможет меня убедить, что я имею дело не с ослом, а с Вавилонской башней? В сущности, и сам предмет нашей дискуссии мало меня интересует; и если бы аксиома о задней ноге не была выдвинута в такой категорической форме, я бы, может быть, даже поспешил солидаризироваться... Но все дело в том, что я не терплю категоричности, тем более если эта категоричность подмывает репутацию партийного вождя, а следовательно, и международный авторитет моей нации... Я продолжаю дискутировать - из чисто патриотических побуждений... - Вы говорите, у Кагановича - задняя нога... Но (дьявол вас побери и извините за выражение) где же гарантия того, что у Шепилова есть кадык? или - что у Шепилова не три, а четыре кадыка? И потом - 56 млн. тонн чугуна сверх плана в первый же год шестой пятилетки - это что? Задняя нога?!.. А новогодний бал в Кремле? А отставка Идена! А Низами! А удои! Чорт побери, удои! - о которых вы с таким жаром распространялись! возможно ли все это при наличии у Кагановича задней ноги!.. И меня охватывает неудержимая радость от сознания бессилия моего оппонента и способности моего мышления ко всеразрушающей логичности... В упоении я размахиваю руками, дабы и физически dokonать своего противника - и с удовлетворением сознаю, что мои удары приходятся точно по ее (ее!) толстым икрам... Говорю - "ее" - потому что угрожающее движение со стороны этих же икр заставляет меня очнуться и узреть, наконец, и свое состояние, и позу моего загадочного противника... - Молодой человек! Как вам не стыдно! Собственно, о каком стыде идет речь? Неужели эта женщина думает, что я лежу перед ней в снегу, только потому что я пьян?! Но ведь я только сейчас почувствовал, что лежу в снегу, - и, может быть, я и вообще не лежу в снегу, а мне просто снится, что я лежу... Нет, пусть она сначала докажет мне, что окружающий меня белый комфорт - не сновидение и что она сама - не Вавилонская башня и не Дух Женева... Нет, пусть все-таки докажет, - а потом уже укоряет меня в отсутствии стыдливости... - Послушайте, гражданка! - Вы... это... серьезно говорили об удоях?.. Ну вы подумайте! Она еще смеет прикидываться дурочкой! Она, видите ли, не понимает, о чем я говорю!.. Что-о? Вы - студентка Юридического факультета?.. Ну да, это очень, очень похвально... но не обязывает же это вас, в конце концов, прикидываться ничего не понимающей или разыгрывать роль мраморной

Галатеи!.. - И потом: что вам собственно от меня надо? Я же вам кажется убедительно доказал, что ваши рассуждения насквозь нелояльны... О-о-о! Она даже не скрывает этого!.. Но если вы не скрываете - для чего же говорить мне о каких-то утренних разочарованиях... Неужели вы серьезно пробуете меня уверить в том, что утром я буду еще в чем-то разочаровываться?.. Или вы считаете меня неизлечимым идиотом!.. (Хи-хи-хи-хи)... Нет, вы послушайте: - Вот вы говорите: разочаровываться, интуиция, предчувствие, тревога, симпатия, стремление и пр. и пр. - так ведь это же одна видимость, комбинация звуков, а понятий - нет... вернее, в психике-то нет таких моментов. Я хочу сказать - не просто "нет" - а "не было бы", если какому-нибудь первобытному дурню не посчастливилось бы так удачно подставить одну букву к другой - и не получить что-нибудь вроде "стремление"... Что? Зад чешется? Ну да, это конечно... - Но все это я к чему говорю? Да дело в том просто, что эти-то комбинации звуков и действуют на меня, вызывая определенные эмоции... Ну, сами посудите, если бы я не знал слова "разочарование" и не знал бы, что после "р" (непреренно - "р") следует "а" (а не "и" и ничто другое) и т. д. и т. д. - разве же могла бы прийти мне в голову мысль когда-нибудь и в чем-нибудь - "разочаровываться"... Да перестаньте же! Ведь я, как-никак, - мужчина... - И потом - признайтесь! - у вас конечно же часто бывает эдакое неуловимое настроение, даже не "неуловимое" - а... "несказанное"... да нет, не "несказанное"... ну да черт с ним; одним словом - признайтесь, вы часто заявляете, что у вас... гм... настроение, не находящее, так сказать, выражения словесного... А вот я вам не верю! Не верю - и все! Где у вас гарантия того, что ваше настроение действительно "не находящее выражения словесного" - если оно не находит словесного выражения! Потом - само выражение: "не находящее словесного выражения" - это просто отказ от словесного выражения вашего настроения, но никак не его выражение! Значит - нет! Нет у вас ничего! И быть - не может! Все эти дамы вашего возраста имеют обыкновение хвастаться эмоциональной неуловимостью! А ваше хвастовство - зауряднейшая стыдливость!.. Вы даже себе самой боитесь признаться, что, так или иначе, - а все ваши эмоции, как сдобные баранки, нанизаны на чешуйчатый член какого-нибудь стремительного сына Кавказа!.. Я хорошо понимаю, что говорю нелепости. Говорю нелепости, потому что еще не сознаю толком, сон ли - мои нелепости или в самом деле я околачиваюсь в сквере Стромьинского студгородка. Если я действительно извиваюсь перед этой корректной дамой (говорю - корректной - и закрываю глаза на ее безнравственные почесывания, - оцените по достоинству мою склонность к уважению недостойных!) - если это действительно так, то не могу же я молча пускать дым в носовую полость этой дамы. Но, чччорт побери, если я сплю зачем напрягать ум и гениальничать? - в конце концов, навеки останется тайной, высказывал ли я во сне мировые истины - или безбожно играл словами! Мало того - я сплю - и никто не имеет права обязывать меня к разговору, я могу замолчать вообще - и никто не будет удивляться моему молчанию, потому что и удивляться в сущности - некому... А что касается этой дамы, так она - (дьявол меня побери, если это не так!) обыкновеннейший объект моего сновидения и, следственно, своего рода собственность моей фантазии, - и я имею вполне законное право ею распоряжаться... Да и не только ею, но и вкусами, наклонностями ее и т. д. и т. д... Почему бы мне не сделать ее женщиной оригинальной, принимающей, например, любую нелепость за гениальную догадку, исходящую от уст партийного руководителя или божьего праведника... Не снизойдет же ко мне в сновидении женщина с твердой и последовательной философской системой - (избави бог! хотя, заверяю вас, в ее ежеминутных почесываниях было что-то философское и уж, конечно же - последовательное). Да почему бы мне, в конце концов, не представить ее существом зоологическим, способным понимать исключительно лишь язык дворовых собак, - и тогда кто мне запретит встать на задние лапы и лаять по-собачьи? Что бы вы там ни говорили, - а в сновидении я существо вполне суверенное. И потому плюю на все и продолжаю паясничать... - Вы еще недостаточно ясно, барышня, представляете себе "половую стыдливость"... Это не просто боязнь обнажения. Если вы серьезно считаете,

что это исключительно боязнь полового обнажения, то вам просто... несколько не хватает тонкости... Неужели же в общении с представителями противоположного пола вас никогда не охватывала эдакая своеобразнейшая стыдливость - стыдливость, проистекающая от опаски признания со стороны представителя противоположного пола вашей принадлежности к своему полу... Или даже не так: от опасения признания в себе признаков своего пола перед лицом представителя противоположного пола, отрицающим в себе наличие данных признаков... Или - нет... ну, да ладно... Если вы действительно студентка Юридического факультета, то я, пожалуй, поспешу прекратить вдавания в подобные тонкости... - Вы, кажется, что-то говорили о симпатиях?... Да, да, я с вами с совершенностью солидарен!.. Обязательно! Обязательно противоестественность! В самом естестве человека заложена жажда противоестественности - и ваши эти пресловутые "симпатии" - ярчайшее тому доказательство... Обычайший примерчик - вы (о, извините, если я буду несколько груб) - вы никогда - никогда! - не почувствуете настоящего, убедительного влечения к мощному звероподобному самцу... потому что сами вы с гордостью осознаете выдающийся (выдающийся до крайности!) характер ваших гениталий... Точно так же - здоровенному самцу гораздо более по вкусу создания легкие, хрупкие, - если угодно: прозрачные, миниатюрные... - и он в то же время с чрезвычайным раздражением взирает на переполненные до отказа бюстгалтеры... Половому удовлетворению всегда предпочитается половое упрямство... Это - чисто человеческое; это - оригинальничанье мыслящих... - Мыслящих! Именно - мыслящих! Потому что даже симпатизирует человек половым органом с примесью разума! - но уж никак не левым предсердием и не правым желудочком!.. Что? Жар в крови!? (Хм... Отраднй факт! Юристка и... "жар в крови"... ) Ну да, собственно, есть и жар; никто не отрицает, что жар действительно имеет место, - но не будете же вы мне возражать, если я замечу, что ваш пресловутый жар вызывается движением бешено несущихся курьеров - от разума к половому органу и от полового органа к разуму!.. И ваше сердце (о, не обижайтесь, прошу вас!) ваше сердце банальнейший постоянный двор, в котором вышеупомянутые курьеры имеют обыкновение (и довольно похвальное обыкновение) инсценировать пьяный дебош и богохульствовать... - Вот вам жар в крови и усиленное сердцебиение!.. Вы меня понимаете? Ну, еще бы не понимать! Она не только меня понимает, но даже выражает полнейшее согласие и игнорирует мое поползновение к грубоватости... Ну, уж а это, пожалуй, лишнее... - издавать мои гипотезы массовым тиражом! - что за убожество, подумайте сами! Вот лечь в постель - это я сделаю с преоткровеннейшим удовольствием... и даже сопроводить вас до комнаты готов с безграничной охотой... "Лечь в постель"... "с преоткровеннейшим удовольствием"... - но, собственно, зачем мне ложиться в постель, если я уже заснул? и зачем засыпать, если я и без того лежу в постели и сплю... Мне просто стыдно (стыдно!) засыпать во сне - и погружаться в сновидения только для того, чтобы ложиться в постель и снова засыпать!.. Тьфу, что за дьявольщина! Какой черт растолкует мне теперь эту галиматью!.. Нет, ну почему же мне должно быть стыдно чувствовать во сне погружение в сон?... И нисколько даже не стыдно! Наоборот, до чрезвычайности интересно! И вообще, смею вас заверить, во сне все интересно, - тем более когда чувствуешь, что все ваши действия - не ваши... да нет же, черт побери, ваши! - но действия человека, отчетливо сознающего, что все происходящее сон и потому получающего неограниченные возможности в области изучения своих сонных действий... Ну, вот неужели мне не интересно знать в данный момент, какое движение произведет моя передняя конечность, - тем более что я не властен над нею... Неужели же не любопытно: быть самому вершителем - и одновременно наблюдать себя со стороны! Чрезвычайно! Чрезвычайно любопытно!.. - Послушайте, гражданка, вы все-таки не верьте себе... Не верьте, что вы его любите... (я говорю просто так... меня заставили говорить - и я говорю... (заставили!)... Я с любопытством внимаю каждому своему слову - и не знаю, что последует за этим словом... Я мучаюсь незнанием того, какое же следующее слово вытянут из меня... Я смеюсь над своей беспомощностью и радуюсь тому, что эта

беспомощность - только во сне...) Вы все-таки не верите, что любите его! Вы просто убеждаете себя, что любите! Человек не может любить, он может только хотеть любить того или иного человека - и в зависимости от размера охоты - убедить себя в большей или меньшей степени в том, что он действительно любит данного человека! Вот вы - вы совершенно убеждены, что вы его любите... Но - представьте себе - вы попадаете под трамвай, обрушиваетесь с небоскреба или выигрываете 100 000 рублей по облигации государственного 3%-ного внутреннего выигрышного займа!.. Как бы вы меня не уверяли, но в данный момент вам такое же дело до него и его эмоций, как моему мизинцу на левой ноге - до эволюции звука "и" в древневерхненемецком наречии... Потому что у вас нет, нет времени убеждать себя в том, что вы любите его!.. И почему я уверил себя, что все эти словоплетения вливаются в меня со стороны? Если я все-таки не сплю, - то кто же помешает мне сейчас быть самим собой, исплевать "это пресловутое внешнее воздействие, взять в собственные руки инициативу", - и ударить в затылок эту чересчур уж любящую женщину?.. Ну, а если (боже!) я действительно заснул, - так это опять же до невыносимости интересно - видеть себя во сне прикидывающимся неспящим и одновременно наблюдать со стороны, как же это я буду освобождать себя от наблюдения со стороны!.. Опять парадоксы! Но, черт побери, они давно уже надоели мне, эти парадоксы!.. Я устал!.. Устал! И если бы положение мое действительно не было парадоксальным, я бы давно уже махнул рукой на все и лег спать... ("лег спать"!.. Дьявол!!) - Извините, гражданочка, - это ваша комната?.. Ну, в таком случае я отказываюсь бить вас в затылок и удаляюсь со стремительностью существа нравственно гармонического!.. Спокойной ночи!.. В конце концов, я даже не рад, что освободился от этой дамы... Кто бы она ни была - объект сновидения или комплекс явных ощущений - но она могла бы внести некоторую ясность в вопрос о моем теперешнем состоянии!.. А сейчас я разрываюсь от непонимания! - и одновременно от незнания того, разрываюсь ли я во сне или действительно разрываюсь от непонимания своего теперешнего положения и причин разрывания!! Ннет, господа, я обязан сейчас же заняться делом практическим - иначе я сойду с ума! Во имя спасения собственного разума - я должен, я обязан гладить брюки, в конце концов!.. Выгладить брюки... тщательно выгладить... - и завтра утром найти их неглаженными!! Это - невыносимо! Это - хуже сумасшедших перспектив!.. ...Хе-хе... Выгладить брюки!.. Это гениально! гениально! - "выгладить брюки"!.. Нет, черт меня возьми, это действительно гениально задумано! Я сию же секунду исплую парадоксы и примусь высасывать все возможное из электронагревательных даров цивилизации!.. И если завтра утром я обнаружу свои брюки действительно выглаженными, то какой же дьявол заставит меня сомневаться в явности всего происшедшего... ну а если они в прежнем состоянии будут покоиться на спинке моей кровати, то... ну конечно! конечно!.. ...Я раздеваюсь, аккуратно складываю брюки, ложусь, традиционно погружаюсь в сон, - все прекрасно, по исстари заведенному порядку, без внешних помех, без стука, без размышлений и парадоксов... ..Но - пробуждение!.. пробуждение!! Если бы я очнулся в образе Петергофской статуи или Валаамовой ослицы, я не был бы так раздосадован! Но... представьте себе! - проснуться в штанах!!! - это мучение! это сумасшествие! бред! средневековая фантазия! И все что угодно!.. Это, в конце концов, - пробуждение во сне! Да, да, пробуждение во сне! Я не проснулся - мне приснилось, что я проснулся!! Приснилось!! В таком случае - будьте вы все прокляты, но я не завидую тем, кому каждую ночь снятся пробуждения!! Я вскакиваю, я хватаю себя за горло - и пробуждаюсь окончательно!.. ..."Окончательно"!.. А кто сумеет уверить меня в окончательности моего пробуждения! Тем более что мне каждый день снятся люди, пытающиеся доказать явность моих манипуляций!.. Тем более что... Но... боже мой... боже мой... неужели же мне без конца хватать себя за горло и из-за легкого каприза моей постели осуждать себя на вечное самоистязание?!! 12 ч. - 6 ч. ночи

27 января

"Главное - занести руку, а ударить - ...почти бездумно... это легко..." И в шевелениях рук - гордость. Эти руки убили трех. Парадоксально то, что все три - женщины. И две - совершенно невинные. Третье убийство единственное, за которым последовало раскаяние... И "ручная" гордость понятна. Точные детали университетского инцидента до сих пор остались невыясненными. Единственно кто располагает достоверными сведениями, - так это Ст. Ш., внесший своими новогодними излияниями некоторую ясность в вопрос о начале Б-ской карьеры. Ясно одно - жертвой убийства оказался объект нежных помышлений самого Б., - вполне невинная 19-летняя студентка, не сумевшая, впрочем, оценить по достоинству весовую категорию Б-ской эмоциональности.

Неизвестно, пользовался ли Б. взаимностью, но имевший место инцидент убеждает в противном. Впрочем, даже и не убеждает, потому что Б-ская психология никак не входит в рамки человеческой. Убийство было совершено в апогее самой невинной ситуации.

Злополучный "объект" освятил своим присутствием квартиру Б. накануне его отъезда в Петрозаводск, никак не предполагая, что в тот же вечер вынуждена будет с немалым успехом "освятить" мертвецкое отделение Ленинградской больницы. Первый удар Б. был неожиданным, вероятно, и для него самого. По крайней мере, невинное перешучивание и совместная упаковка чемоданов никак не могла быть источником Б-ской злобы. Удар был нанесен неожиданно, из-за спины, в тот момент, когда "невинная" тщательно кропила одеколоном содержимое чемодана; - она мгновенно рухнула на пол и (удивительно!) совершенно безропотно, без единого крика принимала на себя все последующее.

Неизвестно, какие инстинкты руководили Б., когда он ударял сапогом по любезным его сердцу ланитам и персям. Он бил долго, равнодушно, выбивая глаза, обесформивал грудь - и в заключение без устали наносил удары в ее "естество" с серьезностью животного и удивительно механически... Второй "инцидент" был еще более неприглядным... но зато менее юмористичным, чем третий... Два месяца психиатрической больницы и затем 3 года тюремного заключения несколько обогатили Б-ский жизненный опыт и обострили склонность к романтике. Что и не замедлило сказаться после второго побега из заключения... Этот инцидент был действительно романтическим, - тем более что имел место в пригороде только что выстроенного Кировска... Возвращаясь однажды из Апатитского "Буфета" и имея чрезвычайно неприглядный вид, Б. тем не менее мог даже в темноте явственно различить распластавшуюся в переполненной канаве пьяную женщину... Побуждаемый жаждой не то полового общения, не то общения с равными, он не замедлил свалиться туда же - и в течение, по меньшей мере, пяти минут усиленно предавался побуждениям инстинкта в талой воде, снегу и помоях... Утреннее пробуждение несколько Б. разочаровало. Он с явным неудовольствием узрел перед собой женщину почти старую, с лицом изрытым оспой и залитым "обоюдной" блевотой... Неудовольствие перешло в бешенство, которое и побудило Б. без промедления выползти из канавы, наступить на горло ночной подруги, вероятно уже мертвой, и до отказа погрузить ее физиономию в скользкую весеннюю грязь... Этот рассказ - у рарап вызывал почему-то дикий смех. Мне же гораздо более смешным и нелепым казалось третье убийство. К тому же призыв на фронт ограничил Б-скую ответственность за его совершение - до 2-х месяцев тюремного заключения... Уже будучи человеком свободным и осуждающим чистоту и трезвость северной цивилизации, он (Б.) буквально - "нашел" в одном из захолустьев Кандалакши законную спутницу жизни. Ничем примечательным, кроме персей и склонности к тихому помешательству, она не обладала, - и самое неудобное в этой склонности была непериодичность ее проявлений. Но для Б. - это была "единственная любимая" им за всю жизнь женщина. И он неумоимо угождал ей и потакал всем ее странным прихотям... Как-то ночью она осторожно соскользнула с постели - и в ночной рубашке принялась ходить по эллипсу, поминутно останавливаясь и извергая содержимое кишечника, - что не мешало ей, впрочем, беспрестанно напевать "Вдоль по улице метелица метет..." Супруг лежал спокойно и по обыкновению курил папиросу. Но когда оригинальная "спутница" опустилась на колени перед портретом Косыгина и

меланхолически зашептала: "...задушите меня... задушите... задушите..." Б. несколько вышел из состояния задумчивости. Он аккуратно стряхнул пепел на бумагу, встал... И задушил.

Дневник

28 янв. - 31 марта 1957 г.

Еще раз продолжение.

И окончания не будет. III

4 февраля

"Да я тебя понимаю, Вениамин, я вообще хорошо понимаю тебя и тебе подобных... Просто - люди, которые обо всем судят из книг... Вас лелеяли мама с папой, заставляли учиться, держали в руках... А теперь, значит, вы предоставлены самим себе, вам все кажется, так сказать, ничтожным, легким и радостным... Заиграла молодость... легкомыслие молодости, если можно так выразиться... хочется оригинальничать, на все плевать, пускать пыль в глаза... А ты вот посмотри жизнь... Ты узнаешь, какой ты был глупый, когда оригинальничал... А все-таки все действительно не так просто, легко... и не так весело, как тебе кажется... Ты даже еще и любовь-то не знаешь, что такое... А порешь такую чушь про семенники... Я вот тебя уверяю, - если ты полюбишь кого-нибудь, то любовь тебя перевернет... Вас всех не так трудно и понять... Вы у меня как на ладони..." "Тебе просто вредно читать Достоевского... Обязательно будешь таким мрачным, если запрешься в комнате... ощущать там всякие ужасы будешь... и тебе все будет казаться мрачным и ужасным... Тебе вот правильно говорили... что в действительности все не в таких мрачных красках... Ты вот ненавидишь смех, на всех смотришь, как зверь, со своей кровати... И на что тебе жаловаться, интересно?... Насчет девчонок у тебя всегда будет прекрасно... В твоих способностях никто не сомневается, учиться ты можешь замечательно... И непонятный ты, чччорт... Все ведь живут хорошо, как люди... Ты не забывай никогда, что ты живешь в советском обществе... а не в какой-нибудь там..." "В таком случае, о чем ты думаешь вообще?... Вот ты говоришь - читаю книгу и вдруг бросаю ее и без движения лежу подряд несколько часов... Так интересно все-таки, ты ведь о чем-нибудь думаешь... Ну, не о будущем, предположим... хотя я в первый раз встречаю человека, который совершенно не думает о будущем... Ну, вот хотя бы твое отчисление из университета... Я понимаю, человек, у которого в перспективах - хорошая, трудовая жизнь, человек, жаждущий нового - ну тогда понятно, он может выражать радость или равнодушие... Но ведь ты-то, чччорт побери... не понимаю!! Ты что, насквозь легкомысленный?... Так это на тебя не похоже... Легкомыслие у тебя показное... Я сразу тебя распознал... Я всю ночь слушал твою беседу с этим... албанцем... и убедился, что ты человек чертовски умный... Что касается твоей лени, так я совершенно ничего не понимаю!.. В жутких семейных условиях быть первым в школе по прилежанию... и тут вдруг... Не понимаю, не понимаю... Я сегодня даже хотел побеседовать с твоей посетительницей... Между прочим: будь более воспитанным в отношениях с женским полом - а то что же это такое - дымить девочке в нос и тут же посылать ее к черту... Удивительная терпеливость... Ты, собственно, к ней ничего... этакое... не имеешь? Нет? Ну, тогда тем более..." "Брось это все, Венидикт! Как-никак жизнь-то ведь она хороша, черт возьми! Солнце... любовь... радость... и остальное... Прославлять веселье надо, Венидикт, - у тебя все к этому данные!.. Читай Кольцова! Бернса! Улыбайся. Хотя бы потому, что тебе слишком идет улыбка! Люби!.. И в старости тебе приятно будет вспомнить молодые годы! А ты... Глядишь на невинную, приятную девочку - а видишь... блевоту, сифилис, животность какую-то... Да я бы на месте этой толстенькой... а-чччорт... Как это вы оба... меланхолика... не понимаете, что ведь жизнь-то! жизнь!.."

13 февраля

Дева Ночная Романтика жаждет приять меня в свои объятия. А мне гораздо более по вкусу рослый армянин Ночлег. Дыхание закавказской силы выбивает из меня половые откровения, и тешит мои взоры светолобивый член, почерневший от нежности... Все

духовное заглушается во мне единением с армянской нацией... Все дофевральское растворяется в привокзальной атмосфере... И я совсем не намерен спохватываться или приходить в сознание. Что касается сознания, - так теперешнее мое горизонтальное состояние - высшее из всех 18-летних проявлений моего практического разума. Хотя само горизонтальное состояние несколько неразумно. В этом смысле, - я готов отдать должное практичности инвалидов. Им гораздо теплей; у них еще есть желание оставаться вертикальными и отдавать оставшиеся конечности в фонд национального фольклора. А я не намерен поддаваться агитации заводов Главспирта. Меня вполне удовлетворяют каменные ступени и вокзальные сквозняки. Я с наслаждением запахиваюсь в пальто и пытаюсь переключить внимание на что-нибудь более двуногое. Двуногое нарочно меня избегает. А инвалидный грохот переполняет черепную коробку. Что бы ни олицетворяли грохочущие костыли - объемистость жизненности или пролетарскую неумолимость - мне важен сам факт соприкосновения шести символов с транзитным паркетом... Голове моей, жаждущей торможения, в данный момент ненавистны все соприкосновения, убивающие замкнутость шумовыми эффектами... Моему горизонтальному положению несимпатично массовое падение пролетарских костылей... Мне нужен сон хотя бы с точки зрения гигиенической. Однообразие ощущений убеждает меня в рентабельности гигиены... Я засыпаю... И не массовое падение раздвигает теперь подо мной отходы деревообрабатывающей промышленности. Не инвалиды, а самые заурядные двуногие стряхивают с себя опилки и ковыряют в пальцах нижних конечностей, сопровождая беспрецедентное ковыряние оглушительным грохотом... Грохот не возбуждает. Грохот слетел ко мне вместе с источником шума и трупного запаха. Оба они убеждены в непогрешимости мозговой биологии - и предпочитают ненужное мне усыпление. Я слишком хорошо понимаю их... От моих восприятий не скроется искривление белорусского лика, в который преобразается источник... Оно мне давно знакомо, это искривление... И физиономии всех сбегających на шум давно уже опостытели мне, - только испуг, начертанный на знакомых лицах, скрашивает однообразие... "Как отвратительно пахнет!" Толпа окружает страдальца, и каждый высказывает внутреннее раздражение. "Как отвратительно пахнет!" Каждому хочется еще раз дотронуться до пострадавших конечностей, зафиксировать размеренные движения хозяина трупного запаха, раздражить, убежать... "Ничего не поделаешь... Придется... отрезать". И толпа не шарахается, не выражает удивления. Толпа продолжает следить за вычищением пальцев, которым уже не суждено быть пальцами... И лицо снискавшего людской интерес освещается виноватой улыбкой... "Ничего не поделаешь... Придется... отрезать". Неизвестно, для чего нужно было выражение сострадания, но на минутные улыбки толпы оно возымело желаемое действие. Никто не жаловался "Как отвратительно пахнет!" Никто не оспаривал у соседа права на лучший костыль. Всех объединило склонение к пальцам собственных ног. И каждый убеждал другого в неповторимости своего уродства, ощущивал забытые травмы, плакал, нюхал базарный чеснок... Никто не верил, что существуют двуногие.

12 ч. - 1.30

14 февраля

"Извините... Это вам кажется, что я пьяный... Я уже давно... протрезвел... Ну, раз вы говорите, - я пойду... уберусь... Меня ждут комфортабельные канавы... Еще раз - извините".

15-16 февраля Ни голода, ни эмоций, ни воспоминаний, ни перспектив, ни жажды папиросного дыма... Одно сплошное ощущение холода. Вокзальный пол леденит позвоночник, сквозняки преследуют и в тоннеле, и в багажных кассах, колебания атмосферы проникают за ворот и обшлага, ожесточают нервы, заставляют нескончаемо измерять шагами просторы холодных опилок... Улица срывает пальто, низвергает массы мокрого снега за воротник куртки и в сотый раз вышвыривает на холодные опилки

багажных касс... В глазах - не жареные котлеты и не дамские прелести. Обычайшие радиаторы водяного отопления.

.....  
19 февраля

Минутку внимания!

Вы меня не совсем правильно поняли! Я - не оригинал! Я ничего не отрицаю, хоть и сознаю, что отрицать все - и заодно отрицать нигилизм - чрезвычайно увлекательно и не требует мозговой изошренности! Человеческие действия могут меня волновать, но никогда не вызовут во мне ни одобрения, ни протеста! Я не признаю разделения человеческих действий на добродетельные и порочные! Если мои действия удовлетворяют меня - и людей, внушающих мне чувство удовлетворения самим фактом своего существования - в этом случае в их, и в моей власти признать удовлетворительными для нас порочность или добродетельность моих действий! Если же оценка моих действий истекает от человека, мне незнакомого и, следовательно, порочного в силу незнакомства со мной ("он позволяет себе наглость не знать меня!") - я не премину доказать обратное! Если мои убеждения - логически верные, я торжествую! В противном случае без промедления отрицаю логику! Я - человек дурного вкуса и животного обоняния! Я никогда не бываю счастлив, в обычном понимании! Я могу только иметь вид человека, напуганного счастьем! Я даже не разграничиваю понятия "счастье" и "несчастье", точно так же как не различаю вкуса голландского и ярославского сыра! В лучшие минуты - я могу преследовать цель, но непременно - цель, убегающую от меня ленивым галопом! Рысь и аллюр меня не прельщают! Общечеловеческие понятия красоты ввергают меня в состояние недоумения! Мне понятно наслаждение мелодичностью звуков! Мелодичность - выражение грусти! А грусть не может не быть красивой! Мне понятно восторженное восприятие природных красот! Но чем более привлекательны для человеческих восприятий произведения искусства, тем более они искусственны! Немногие произведения искусства могут и во мне разлить удовлетворение! Так же, как может восторгать меня вынужденная грациозность в движениях человека, скованного ревматизмом! Красиво уложенный навоз может услаждать мои взоры! Но созерцание мраморных апофеозов итальянской красоты не может вызвать во мне ничего, кроме отвращения, в лучшем случае - равнодушия! Я - человек относительно нравственный! Незнакомые люди вызывают во мне чувство равнодушного озлобления, а все прочие относятся мною к разряду любимых или презираемых - в зависимости от степени лестности их собственного мнения обо мне! Для меня не существует предательства просто! Я отвергаю предательство, одухотворенное благородными целями! И считаю совершенно естественной способность человека к предательству ради удовольствия быть предателем! Мне безразличны половые проблемы! Но я с восторгом приемлю любой намек на бисексуальность! Всякое половое откровение вызывает во мне отвращение! Но половые извращения всегда будут значиться в моем сознании как высшее проявление прогресса человеческой психики! Я - оптимист! И склонен полагать, что все мне не нравящееся - комплекс моих капризных ощущений! Я восторженно приветствую любое отклонение от нормально человеческого! Но я не могу понять, почему отдается предпочтение "возвышению", если "верх" и "низ" - однородные отклонения от общечеловеческого уровня! К тому же возвышение - временно! А быть "ниже" - по свидетельству физических законов - гораздо более устойчиво! Я не верю в существование людей искренних и принципиальных! Можно уверить себя самого в своей принципиальности! Можно быть принципиальным из принципа! (Бык - упрям, а, следовательно, принципиален!) Но ведь гораздо легче - не менять своих мнений, вовсе их не имея! Что же касается взглядов, то "собственное мировоззрение" - так же банально, как "коран толпы" и "огнь желанья"!

20 февраля

Пейте... пейте... Пока еще на дворе потепление... Пока еще моя рука сдерживает дрожание крана... И вас не отпугивает... Пейте... Бедные "крошки"... Я вместе с вами чувствую приближающееся похолодание... И кутаюсь вместе с вами... Пройдет неделя... Другая... А меня с вами уже не будет... И вы не напьетесь... Не напьетесь... 1.30 ночи

22 февраля

- Гранька, я тебя ебать больше не буду. - А на хуй ты мне сдался сам-то... Другие поебут...  
- Ну! Что другие! У меня ведь все-таки хуй 22 сантиметра... А это все шваль. - Катись-ка ты в манду, поросенок! Как будто у тебя у одного двадцать два сантиметра... Другие любят!.. - Ха-ха-ха! Другие! Кому это захочется тебя любить?! У тебя же пизда рюмочкой! - Рю-ю-умочкой, поросенок! Такую рюмочку ты еще поищешь! Рюмочкой... Сам ты... - Вот у других - стаканчиком пизда! Вот уж этих хорошо ебать... Продернешь пару раз на лысого - сразу полюбишь... А это - что!.. Грязи, наверно, у тебя полная манда!..  
- Дурак поросенок! Грязи-то у тебя на хую, наверно, много... А у меня-то нет... Можешь не беспокоиться...

2 марта

Мне холодно... я зябну... и все они умерли... умерли... 3 марта Ровно в восемь я покинул зал ожидания. На пути следования ничто не привлекло мои взоры, и я прошел почти незамеченным. Добравшись, наконец, до Грузинского сквера, я был остановлен массой движущихся по всем направлениям скотов. Одни пытались перепилить ножом каменную шею Венеры Милосской, другие выкрикивали антисанитарные лозунги. Одним словом, никто не обратил на меня внимания, - и только стоящий поодаль и видимо раздосадованный чем-то шатен ласково протянул мне потную ладонь. - Вы, случайно, не Максим Горький? - Собственно... ннет... но вообще - да. - В таком случае - взгляните на небо. - Нну... звезды... шпиль гастронома... "Пейте натуральный кофе"... ну... и больше, кажется, ничего существенного. Шатен внезапно преобразился. - Ну, а... лик... всевидящего? - Гм. - То есть, как это - "гм"? А звезды?! Разве ничего вам не напоминают?.. - Что?! Вы тоже... боитесь... Боже мой... Так вы... - Да, да, да... а теперь - уходите... я боюсь оставаться с вами наедине... идите, идите с Богом... И долго махал мне вслед парусиновой шляпой.

11 марта

Чрезвычайно странно. Три дня назад я спешил к Краснопресненскому метро с совершенно серьезными намерениями. В мои намерения, в частности, входила трагическая гибель на стальных рельсах. Не знаю, было ли слишком остроумным мое решение; - могу сказать одно - оно было гораздо более серьезным, нежели 30-ого апреля прошлого года. И настолько же более прозаическим. По крайней мере, за два истекших дня я, если не сделался оптимистом, то стал человеком здравого рассудка и материально обеспеченным. Не знаю, надолго ли.

13 марта

Невыносимо тоскливо. Наверное, оттого, что вчера весь вечер слушал Равеля.

14 марта

- Так вы что же, Ерофеев, считаете себя таким потерянным человеком? чем-то вроде... - Извините, я, слава богу, никогда не считал себя "потерянным", - хотя бы потому, что это слишком скучно и... не ново. - А вы бросьте рисоваться, Ерофеев... Говорите со мной как с рядовым комсомольцем. Вы не думайте, что я получил какое-то указание свыше специально вас перевоспитывать. Меня просто заинтересовали ваши пространные речи в красном уголке. Вы даже пытались там, кажется, защищать фашизм или что-то в этом роде... Seriously вам советую, Ерофеев, - бросьте вы все это. Ведь... - Позвольте, позвольте - во-первых, никакой речи о защите фашизма не было в красном уголке, всего-навсего - был спор о советской литературе... - Ну? - Ну и... наша уважаемая библиотекаряша в ответ на мой запрос достать мне что-нибудь Марины Цветаевой, Бальмонта или Фета - высказала гениальную мысль: уничтожить всех этих авторов и запрудить полки советских библиотек исключительно советской литературой... При этом

она пыталась мне доказать, что "Первая любовь" Константина Симонова выше всего, что было создано всеми тремя поэтами, вместе взятыми... - Вы, конечно, возмутились. - Я не возмутился. Я просто процитировал ей Маринетти о поджигателях с почерневшими пальцами, которые зажгут полки библиотек... Библиотекарша общенародно обвинила меня в фашистских наклонностях... А я просто-напросто запел "Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей"... - Послушайте, Ерофеев, вы не можете мне сказать, за что вы питаете такую ненависть к советской литературе? Ведь я не первый раз встречаю подобно настроенных молодых людей... Я думаю - это просто от незнания жизни. - Да, наверное, от этого. - И, вы понимаете, Ерофеев, - вот вы, наверное, еще не служили в армии? ну что ж, будете служить. И там вы поймете, что значит жизнь. Настоящая жизнь. И, вы представляете, - вы служите во флоте, ваша девушка далеко от вас, вы - в открытом море... И вот вся эта дружная, сплоченная семья матросов запекает песню о девушке, которая ждет возвращения матроса, - ну, одним словом, простую советскую песню - ведь вы с удовольствием подпоете... Уверяю вас - если вы попадете в хороший коллектив, вы сделаетесь гораздо проще... Гораздо проще... - Не думаю... По крайней мере, мой, извините, духовный мир никогда не сузится до размеров того мирка, которым живут эти ваши любящие матросы. - Гм... "любящие"? Узкий мирок? Вы, наверное, никогда не были любящим? - Наверное. - Почему - наверное? - Тттак... Видите ли, - я вообще не собирался касаться интимных вопросов... - Ну, ладно... Хе-хе-хе... Вы комсомолец, Ерофеев? - Да... комсомолец. - Авангард молодежи? - Видите ли, я давно поступал в комсомол и... немножко запамятовал, как там написано в уставе - авангард или арьергард... - Вы мило шутите, Ерофеев... - Да, я с детства шутник. - Оччень жаль... оччень жаль... А вы не знаете, по какому поводу я спросил вас - комсомолец вы или нет? - Откровенно говоря... теряюсь в догадках... - Гм... "Теряетесь в догадках"... А ведь догадаться, Ерофеев, не слишком трудно... Знаете, что я вам скажу, - вы никогда не собьете с правильного пути нашу молодежь - и, пожалуйста, бросьте всю эту вашу... пропаганду... - О боже! Какую пропаганду?! - Ккаккой же вы милый и невинный ребенок все-таки! Вы даже не знаете, о чем идет речь! "Теряетесь в догадках"! Знаете что, Ерофеев - бросьте кривляться! Поймите ту простую истину, что вы стараетесь переделать на свой лад людей, которые прошли суровую жизненную школу и которые, откровенно вам скажу, смеются и над вами, и над той чепухой, которую вы проповедуете... Смеются и... - Извиняюсь, но если я говорю чепуху, и все смеются над этой чепухой, так почему же вы так... встревожены? Ведь вы, я надеюсь, тоже прошли суровую жизненную школу? - Я не встревожен, Ерофеев. Я тоже смеюсь. Но это не простой смех. Когда я вижу здорового, восемнадцатилетнего парня, который, вместо того чтобы со всей молодежью страны бороться за наше общее, кровное дело, только тем и занимается, что хлещет водку и проповедует какое-то... человеконенавистничество... - мне становится даже страшно! Да! Страшно! За таких, извиняюсь, скотов, которые даже не стоят этого! - Чего - "этого"? - Да! которые даже не стоят этого! Вы знаете, что мой отец вот таких вот, как вы, в сорок первом году расстреливал сотнями, как собак расстреливал?! Эти... - Вы весь в папу, товарищ секретарь. - А вы-ы не-е издевайтесь надо мной!! Не изде-вайтесь! Слышите!? Издеваться вы можете над уличными девками! Да! Издеваться вы можете над уличными девками! А пока - вы в кабинете секретаря комсомола! - Извините, может, вы мне позволите избавить вас от своего присутствия? - Я вас нне задерживаю - пожалуйста! Но, говорю вам последний раз - еще одно... замечание - и вас не будет ни в комсомоле, ни в тресте... Я сам лично поставлю этот вопрос на комсомольское собрание! - Гм... Заранее вам благодарен. - Не стоит благодарности! Идите!! И заодно опохмелитесь! От вас водкой разит на версту... - А я бы вам посоветовал сходить в уборную, товарищ секретарь. Воздух мне что-то не нравится... в вашем кабинете.

15 марта

И все-таки. Что бы со мной ни было, - никогда ничто меня не волнует, кроме, разве, присутствия Музыкантовой. В этом смысле я следую лучшим традициям. Прадед мой

сошел с ума. Дед перекрестил дрожащими пальцами направленные на него дула советских винтовок. Отец захлебнулся 96-и-градусным денатуратом. А я - по-прежнему Венедикт. И вечно таковым пребуду.

16 марта

Ах, господа, мне снился сегодня очаровательный сон! Необыкновенный сон! Мне виделось, господа, что все меня окружающее выросло до размеров исполинских, вероятно потому, что сам я превратился во что-то неизмеримо-малое. Я уже даже не помню, господа, в какую плоть я был облечен. Могу сказать только одно - я не был ни одним из представителей членистоногих, потому что на лицах окружающих меня исполинов не выражалось ни тени отвращения. Ах, господа, вы даже не можете себе представить, каким уморительно жалким было мое положение и каким невыносимым насмешкам подвергалась личность моя! Одни сетовали на измельчание человеческого рода. Другие предлагали в высушенном виде поместить меня в отдел "Необыкновенная фауна". Третьи рассматривали меня через вогнутое стекло - и это было для меня всего более невыносимым. Члены Политбюро тыкали пальчиком в мой животик. Отставные майоры проверяли прочность моих волосяных покровов. Служители МВД совершенно бездоказательно обвиняли меня в связях с Бериею. А один из вероломных сынов Кавказа предложил даже изнасиловать меня. Ах, господа, вы даже представить себе не можете, до какой степени уязвлены были мои человеческие чувства. Ибо - кем бы я ни был тогда - чувства человеческие по недоразумению во мне сохранились. Я ронял из глаз миллиарды слез, сквозь слезы цитировал графа Соллогуба, подбирая выражения по возможности "жалкие", - на какие только ухищрения не пускался я, дабы вымолить у них снисхождение... Я знал, что все эти чудовищные создания в действительности жалеют меня и в душах их, смягченных присутствием существа беззащитного, нет ни тени насмешки... Я не верил, что исполины эти совершенно искренне - неумолимы. Но снисхождения не было. И я бы погиб, господа, погиб неминуемо, если бы вдруг... (вдруг!) ослепительный свет белого кителя не рассеял мрака окружающей меня звериной непреклонности. И не только я - все неожиданно осознали, что только он - он, излучающий ослепительный свет, имеет законное право над моей судьбой властвовать. Ах, господа, этот человек мог раздавить меня указательным пальцем, этот человек мог подзадорить безумство гигантов. Он мог, наконец, остановить глумление и спасти меня от ревущей толпы подвергавшей меня осмеянию... Но именно-то в это мгновение, господа, я проснулся. Да, черт побери, как это ни плачевно, я проснулся и вынужден был оставить вдохновенное ложе свое. В состоянии не то грустной неопределенности, не то неопределенной грусти запахнулся я в простыню и подошел к растворенному окошку, дабы созерцанием мартовского утра растворить тягостный осадок, оставленный в душе моей исчезнувшим сновидением. Все действовало на меня успокаивающе. И занесенные снегом деревья, которые чем-то напоминали мне клиентов 144-ой парикмахерской, еще не успевших закончить священный обряд брадобрейства. И совершающий утреннюю прогулку страж внутреннего спокойствия. Одним словом, исключительно все, что попадало в поле моего зрения. И вы представляете, господа, настолько удачно белый китель милиционера гармонировал с белым блеском заиндевелых деревьев, настолько умиротворяло душу мою созерцание мартовского пробуждения, что все существо мое неудержимо охватило желание согреть на груди своей стража утреннего спокойствия. Да, да, господа, можете не удивляться странности моего желания - его выполнение было слишком реально для удовлетворенного существа моего. По крайней мере, я был в этом совершенно уверен, когда нахлынувшая на меня буря родственных чувств заставила меня с четырехметровой высоты пасть на шею моего благодетеля. Да, я действительно пал ему на шею, я залил слезами белый китель его, спасший меня в минувшем сне от насмешек неумолимой толпы. "Миленький мой, - сквозь слезы шептал я ему, между тем как он, опрокинутый на землю, пытался освободить горло от цепких перстов моих, - миленький мой, ведь это же были вы, ведь, если бы я не проснулся, вы обязательно спрятали бы меня

в карман... не правда ли?.. Да, да, да, я вам всегда говорил, что все они - отвратительные насмешники..." Ах, господа, если бы вы могли понять, насколько чистосердечными были слезы мои и благодарности, обращенные к телу уже бездыханному, но все же милому моему сердцу. Для меня безразличны были и рев сбегавшейся толпы и град неистовых проклятий, которым осыпали беспомощное существо мое. "Ведь я же всегда говорил вам о тщете суеты мирской, - продолжал я, переводя взоры с бездыханного трупа на пробивающегося через толпу милиционера, - тогда вы были еще великолепно, а потомок Багратиона покушался на невинность мою! Снова судьбы мои в ваших руках, благодетель мой, - и все равно через мгновение я уйду от правосудия вашего Я просыпаюсь".

7.00 веч.

18 марта

"Такой чудак - этот Ерофеев. Вечно что-то читает, читает... Пьет охуительно". Николай А.  
"Молчит-молчит, целыми сутками молчит, а потом сразу что-то нападет на него, - так и не узнаешь: хохочет, как жеребец, матом ругается, девок шупает. И вечно это свою "Не искушай" поет". Аграфена З.

"А денег ему не давай - это ведь такой пропойца!" Мария С.

"Знаешь что - я сам чудак, много чудачков видел, но такого чудачка первый раз встречаю".

Анатолий П.

"А что Венька скажет?! Да ничего он не скажет. Опять будет под окном Абрамова петь: Избавь твою Саг'у от пытки напг'асной! Взгляни еще г'аз на меня, Мой ангел пг'екг'асный!" Александр С. "Ну, уж если Ерофеев скажет что-нибудь такое - так вся абрамовская бригада за пупки хватается". Геннадий С.

"Грамотный человек... О политике так умно рассуждает - его никак и не переспоришь. Не знаю, за что его выгнали из института... За пьянство, наверное". Геннадий С.

"Да-а-а, что пьет, так это пье-о-от". Иван А.

"Черт его знает, что у него на уме. Темный человек... непонятный. Уж из человеческой шкуры хочет вылезти... все у него поперек, все не так..." Анна С.

"Венька, признайся, что ты иностранный агент. Я же вижу". Анна Б.

"А тюрьмы ему не миновать". Владимир А.

20 марта

- Послушай, ну вот что тебе нужно, - ну тебе сейчас девятнадцатый год, предположим. Будет тебе девятнадцать - будешь увиваться за девками. В 26 лет женишься, отработаешь век свой на пользу государства, воспитаешь детей... Ну, и умрешь тихонечко без копейки в кармане. - И неужели ты считаешь это образцовой жизнью? - Ннуу... образцовой - не образцовой, по крайней мере, все так живут. И ты проживешь точно так же. - Извиняюсь, сударыня, если бы я знал, что у меня в перспективах - обычная человеческая жизнь, я бы давно отравился или повесился. - Давно надо бы. - Да, конечно. Однако же я все-таки живу. Ну, а вот ты, Анечка, тебе девятнадцать лет - мне все-таки интересно знать, что у тебя сейчас в голове. - Как это так? Ннуу... вот сейчас, например, думаю, скоро ли пять часов, хочу вот себе платье купить, на танцы сегодня пойти. - И все? - Нет, почему... а вообще-то, для какого черта это тебе надо знать? Что это ты экзаменуешь меня, как английский шпион? - О боже мой! Если бы я был английским шпионом, милая, меня бы совсем не интересовал образ мыслей рядовой пролетарской девки. - Так а для чего же тебе это все надо? - Ттак просто... противно мне что-то смотреть на вас, господа пролетарии... Пошло вы все живете... - Э-э-эх... "противно ему смотреть"! да ты бы сначала на себя посмотрел, как ты живешь, ты же как первобытный человек живешь - одеваешься черт знает как, на танцах никогда не бываешь, в кино не ходишь... я бы давно подохла с тоски. - Да, я тебе слишком сочувствую... Остаться тебе одной - значит действительно "подыхать с тоски". По крайней мере, известно, что человек мало-мальски умный, оставшись вне общества, бывает все-таки наедине со своими мыслями. Вам же, госпожа пролетарка, поневоле приходится тяготиться полным одиночеством. - Я нничего не понимаю, что ты за чепуху порешь... - Ну и слава богу... Мне даже приятно сознавать,

что человек со средним образованием не может понять самых простых вещей... - А что ты мне тыкаешь образованием!? Я, может, больше тебя в жизни разбираюсь... И не "может", а точно... - Охотно тебе верю, Аничка... Ты видела гораздо больше меня; можно дожить до семидесяти лет и увидеть еще больше - и в довершение всего вздохнуть: "мда, тяжелая эта жизнь". Да чоррт побери, это все равно что объехать целый свет, накопить громадное количество впечатлений, вернее - иметь возможность их накопить, - и по возвращении сказать только: "мда, а земля все-таки круглая", когда это давно всем известно! - Ну вот, опять ты ерунду понес, ты же совершенно не знаешь ничего, и знать ничего не хочешь... книжками только интересуешься... - Пойдите, а чем же вы интересуетесь еще, кроме вот только что перечисленных вещей? - Хотя бы своей жизнью интересуюсь... Сидишь вот без копейки - так поневоле будешь думать о своей жизни... и смеяться над такими вот дураками, которым все равно... - Позвольте, позвольте, Бабенко, - вы жалуетесь на материальную необеспеченность, - и я вам вполне сочувствую - вам необходимо, предположим, заработать десять рублей в день. Чтобы заработать эти деньги, товарищ Бабенко, вам надо ежедневно нагрузить на машину, сгрузить и уложить в штабеля тринадцать тысяч штук кирпичей - это почти 25 тонн! Теперь представьте себе, Бабенко, что десяти рублей вам хватит только на хлеб и соевые бобы. Если вы не хотите разгуливать по столице голой и иметь к тому же катарр желудка, нагрузите 75 тонн... - Э-э-эх... - Пойдите, пойдите. Вы скажете, товарищ Бабенко, - я не лошадь! Вам ответят таким же тоном - ах! если вы не лошадь, - вкушайте соевые бобы и страдайте катарром желудка! Как видите - все в пределах законности! - Ну, и к чему ты все это? - Гм... минутку терпения! Теперь... у вас, конечно, возникает вопрос: кто же виноват в том, что мне приходится выполнять лошадиную работу - только чтобы обеспечить себя черным хлебом? Ведь, надеюсь, не Абрамов, который получает указания от Зеленова, не Зеленов, который полностью подчиняется Суворову... ну... и так далее... Одним словом, в розысках виновного, вы доберетесь до государственного аппарата. А разве вы имеете что-нибудь против Советской Власти? Вы ведь только сейчас осуждали мою антисоветскость и потому вы совершенно лояльны. Ттта-ак. Но, может быть, вы только внешне боитесь высказываться против Советской Власти, а внутренне вы готовы ее низвергнуть - в таком случае вы, товарищ Бабенко, выражаете идеологию буржуазного класса, ибо, как явствует из статьи Владимира Ильича Ленина "Партийная организация и партийная литература", "тот, кто сегодня идет не с нами, тот против нас"! Вы доверяете Ленину, товарищ Бабенко? - Слишком. - Гм... Прекрасно. Но ведь вы, кажется, не питаете особой любви к буржуазному миру - 5 минут назад вы говорили: "Живешь вот, как в Америке!" Вероятно, ваше мнение об Америке совершенно искреннее. Лев Толстой сказал как-то: "Женщины всегда искренни своим телом"... Вы телом искренни, товарищ Бабенко? - Угу. - Чудненько. Отсюда следует, что вы ни внешне, ни внутренне ничего не имеете против Советской Власти - и все-таки выражаете недовольство своим существованием! Вы без ума от Никиты Хрущева - и тем не менее вам хочется кушать, видите ли! - Шпион... - Вот именно! Далее - вы, вероятно, полагаете, что государство внемлет вашим стенаниям и осыпет вас благодеяниями за ваш непосильный труд... Следует напомнить - руководство нашего треста обращалось с петицией к строительному министерству - однако министерство отказалось повысить расценки! Вам остается только одно - вдохновляться тем, что ваши потомки будут полностью удовлетворять свои потребности. Они возблагодарят вас, товарищ Бабенко! - А мне - срать на потомство. - Гм... Наконец-то слышу "глас пролетария"! Чудненько!.. Чудненько!.. Так - чоррт побери!! - Аничка, - неужели же блекнуть вашим дивным формам?! Плюньте на... - Бро-ось! - Плюньте на слезы и христианское смирение! К вашим услугам - Белорусский вокзал! Взбунтуйтесь против человеческой морали! Ведь убивают же, грабят, валяются в канавах люди! И умные люди! А что же? Ведь и у вас нет другого выхода! Ложитесь в прохладу вокзального сквера, обнажайте свои пышные перси, зазывайте клиентов, чоррт побери! - Перестань... Венька! - "О, кто бы ты ни был, прохожий, пади на грудь мою! Отумань разум мой!

Исцелуй меня всю! О, сжимай меня в страстных объятиях"! (Ведь не жрать же мне соевые бобы, в конце концов!) Раствори меня в себе, о прохожий! Я утопаю в... целуй меня! Еще! Еще! Один рубль! Два рубля! Три! Пачка маргарина! Полкило колбасы! Ах! - Ха-ха-ха-ха! Нет, Венька, ты просто гений! Только я не понимаю, почему тебе все - смешно! - То есть, как это - смешно? В материальной необеспеченности я просто не вижу никакой трагедии...

Ну, а если для тебя это трагедия, так... - Не понимаю, что ты за человек!

21 марта

Я прежде всего - психопат. И потому нагромождение нелепостей может считаться даже достоинством только что мною выпущенной "теории дней недели". Гениальные мои гипотезы о магическом влиянии пятницы на судьбу мою никого еще не заставили мистифицировать "свой" день недели и цифирно узаконить мистификацию. Поэтому я беру на себя обязанности первооткрывателя. Во-первых, самые мрачные дни моего существования: 1 июля 55 г., 4 мая 56 г. и 8 марта 57 г. приходились на пятницу. Все три дня озаменованы "покушениями" на самоубийство. Далее: пятницей обозначены все четыре кульминации моей половой чувствительности: 11 мая 56 г., 15 июня 56 г., 7 сентября 56 г. и 21 декабря 56 г. В пятницу 15 июня 56 г. скончался мой отец. В пятницу 5 октября 56 г. скончался мой брат. В пятницу 15 февраля 57 г. - моя матушка. Далее. Обстоятельства чисто прозаические: В пятницу 24 июня торжественно был вручен мне золотой аттестат. День моего первого вселения в студенческое общежитие - 2 сентября 55 г. и день моего "последнего выселения" - 8 февраля 57 г. - неоспоримые пятницы. Пятница - 15 июля 55 г. - день поступления в университет. Пятница 21 декабря 56 г. - день исключения из университета. И пр., и пр., и пр. до бесконечности. В руках предстоящих дат - будущее моих гипотез.

27 марта

"Да она же любила тебя, эта проститутка. На шею тебе вешалась. Может быть, просто думала, что ты какую-нибудь студенточку любишь, боялась тебя заразить какой-нибудь гадостью. Они ведь тоже иногда людьми бывают, эти бабы. А вообще-то это страшное дело, когда самое первое "романтическое" чувство наталкивается на эти отвратительные вещи... Ведь вы же были просто два дружных ребенка... Одна ложилась под каждого встречного, а другой ей доказывал, что ложиться под каждого встречного - это грандиознее, как ты выражаешься, чем подвиг капитана Гастелло... Скверное это дело... Самое-то скверное, что ты к этим грязным вещам не чувствуешь никакого отвращения".

Дневник 1 апреля - 10 июня 1957 г. Продолжение записок сумасшедшего. IV

1 апреля

Иди сюда! Давай угля! Стой - не надо! Говорят же тебе - не надо, еб твою мать! Дуй горно! Куда дуешь? Зачем дуешь? Какое горно? Почему горно? Кто сказал - горно? Перестань дуть, болван! Иди сюда! Бей кувалдой! Стой - не ходи! Давай угля! Дуй горно!

2 апреля

Желаемое достигнуто! Я душой - пролетарий! Физический труд заменяет мне пищу духовную! Во мне пульсируют... - Гранька, еб твою мать! Прекрати ограбление! Кража государственной фанеры - бич высших идеалов! Во мне пульсируют пролетарские эритроциты, и я разрываюсь от напора физического выздоровления. Начальник строительного управления призывает к порядку! Расшатанная абрамовская бригада выходит из повиновения! Я окрылен... - Юленька! Осторожней с бочками! Белило - не креп-жоржет! У вас дивный зад! Но это же не значит, что вы должны портить государственное имущество! Я окрылен и нескончаемо насвистываю. Мой свист вливает бодрость, мое "Не искушай" удесятерит бригадные силы! Начальник отдела кадров... - Таничка! Фу, какие вы неисправимые! Пожалейте своих детей! Людовику XVI-ому тоже отрубили голову! Но ведь то был король! А вы - заурядный подданный ремонтно-строительного треста! Начальник отдела кадров объявляет крестовый поход против "ерофеевской заразы". Помощник начальника отдела снабжения убивает меня недовольством пред лицом начинающейся стачки. Валинька предлагает сделать обыск в

моей квартире. Аничка... - Аничка! Юнону изнасиловал бог Вулкан, Минерву - властитель Аида! "Я мать владыки Гора, и никто не поднимал моего платья!" Неужели же мне нельзя расцеловать ваши перси!?

3 апреля

Красный уголок. Дама в белом, дама в черном и дама в голубом перелистывают у окна журнал "Чехословакия". Доносятся негодующие возгласы: "Всегда это у них одни турбины! Ничего, кроме турбин!" Девушка-библиотекарша пытается доказать толпе обступивших ее парней, что Жюль Верн и Дюма - порождение одной нации. Из коридора доносятся звуки джазовой музыки; поминутно входят и выходят раскрасневшиеся пары танцующих. Ерофеев, сидя в углу, незаметный и чрезвычайно небрежно одетый, читает Генриха Манна.

БИБЛИОТЕКАРЬ. Ну как вам, ребята, не стыдно? Ведь вы же загрязняете самое чистое, самое прекрасное из всех человеческих чувств! Вспомните, как наши лучшие писатели отзывались об этом чувстве! Как... (Слова библиотекаря на минуту тонут в гуле мужских возражений: "Да разве мы что-нибудь такое сказали!", "Да мы против любви ничего не имеем!", "Любовь-то это хорошая штука, да условия-то нам не созданы, чтобы любить!" - и еще что-то неразборчивое).

БИБЛИОТЕКАРЬ. Вот видите! - все вы любовь уважаете, а почему-то городите какую-то чушь - как будто вам... как будто бы вы никогда не любили! Ведь это у вас просто хвастовство какое-то - мол, нам ничего не интересно! Любви никакой нет!..

ПАРЕНЬ. Ну почему это вы так думаете? Ведь мы все-таки еще не старики! Дело молодое, конечно! - вечером так это... немножко погуляешь, если с девушкой хорошей познакомился... ну, сходишь в кино, посидишь... только вот плохо, что девушек-то у нас хороших нет! Все какие-то... (Вслед за этим раздается негодующее библиотечное: "Как это так нет!" и возмущенные дисканта трех присутствующих дам).

ДАМА В ГОЛУБОМ. Девушки-то все как девушки! А мужики вот что-то некультурными стали, хамье какое-то, а не молодые люди! (Возгласы: "Что это еще за "мужики"!?" )

ДАМА В ЧЕРНОМ. А кто же вы, если не мужичье? Даже на танцах пригласить как следует не можете! А уж если с вами гулять, так греха не оберешься!

ПАРНИ. Ха-ха-ха! Ты думаешь, если мы некультурные, так и любить мы не можем по честному, что ли? Знаем мы этих культурных! Ходят себе в бостоновых костюмах, им и дела-то никакого нет до вашей любви... им бы только денег побольше нагрести!

ДАМА В ГОЛУБОМ. Ну уж и неправда! Если человек культурнее вас, так он и любит честнее... Как раз в этом его культура и заключается... (Возгласы неодобрения).

ДАМА В ГОЛУБОМ. А что?! Вы думаете, культурный человек - как вы, что ли, будет делать? Сегодня с одной в кино идете, завтра уже с другой гуляете! Что же это за любовь - на один день! (Мужские возгласы: "Не выдумывай!", "У нас таких нет!", "Главное - верность!").

ДАМА В ГОЛУБОМ. Да и мало того, что бросите гулять с девушкой... Хороший человек сказал бы прямо, что гулять, мол, с тобой не хочу, полюбил другую... А у вас какая-то глупая привычка: гуляет с другой, а говорит, что, мол, любит по-прежнему, жизнь отдаст и так далее... (Гордые улыбки парней, возглас: "А что же здесь особенного!? Такой уж человек создан!")

ДАМА В ГОЛУБОМ (запальчиво продолжая). А я вот, например, терпеть не могу таких ребят! Если разлюбил - так прямо и скажи: больше не люблю... А для чего же это душой кривить? Я недавно читала где-то - кажется, у Ирки в дневнике: "Скверная прямота лучше, чем красивый обман"...

БИБЛИОТЕКАРЬ. А это ведь замечательно сказано, и ребятам надо над этим задуматься! Самое главное для че... ДАМА В ЧЕРНОМ. Да! Заставишь ты наших ребят задуматься!

Пожалуй! (Мужские смешки, входит пара разгоряченных танцующих).

ПАРНИ. Вот вам и любовь. Наглядное пособие! Хе-хе-хе. Ха-ха-ха-ха.

БИБЛИОТЕКАРЬ. Ребята! Если уж речь зашла о любви, то я хочу вам задать один вопрос. Вот я, например, считаю, что у каждого человека любовь состоит из трех стадий. Первая

стадия - когда парень еще не познакомился с девушкой, но он часто видит ее и она ему нравится... Вторая - когда они уже познакомились, гуляют, вместе танцуют, ходят в кино, одним словом, дружат, любят друг друга... (Представители обоего пола обмениваются многозначительными взглядами и расплываются в улыбке).

БИБЛИОТЕКАРЬ (продолжает). Ну, а третья - когда молодые люди уже вообще друг без друга не могут жить, - они женятся, живут вместе... ну, и, конечно, продолжают друг друга любить... Вот я у вас и хотела спросить как вы думаете, почему все-таки большинство людей перестают друг друга любить как раз вот на этом самом третьем этапе, когда им обоим особенно нужна любовь? Ну вот, как вы, ребята, думаете? (Устные высказывания мнений сливаются в один общий хор, поминутно различаются ухом наиболее громкие и обрывочные: "Любовь имеет свой предел", "Что же это, и старуху любить?" "Конечно - дети пишат по всем углам...", "...а особенно, если с пузом...").

БИБЛИОТЕКАРЬ. Я лично считаю...

ПАРЕНЬ (доселе стоявший поодаль и тупо рассматривавший всех присутствующих, неожиданно обрывает). Все это, товарищи, ерунда! Самое главное как раз и не в этом... Самое главное в том, что у нас нет никаких условий для того, чтобы люди могли спокойно друг друга... любить! Ну вот хотя бы меня возьмите для примера... Я свою жену, может быть, и люблю... Ну, а как я ее могу вообще-то любить, если она живет черт знает где, на Калужской... Что же это такое - живи в общежитии и смотри, как тебе жена будет изменять... Так что ли? А для меня, например, любовь дороже всего... Пусть дерут хоть пятьсот рублей, а дают для семьи квартиру... Что же, это я смотреть должен, как другие...? (Общий гул и недовольство тем, что половой вопрос заменился жилищным. Ерофеев приходит на помощь).

ЕРОФЕЕВ. Послушайте, граждане! Интересно, за каким чертом вы живете в Москве?

Переселяйтесь на Сахалин. Получайте отдельную квартиру. Если вы даже потеряете московскую прописку, то ведь для вас "любовь дороже всего"! (Смех, возгласы "Браво").

ОСКОРБЛЕННЫЙ (пытаясь возразить). Эх, какой ты умный! На Сахалин! Ты сначала доживи до моих лет...

БИБЛИОТЕКАРЬ (прерывая оскорбленного). Ребята! Ребята!.. (Общий гул, почти все присутствующие физиономии обращены ко мне, на мужских лицах - еще не испарившаяся улыбка, на женских - вопрос: "А! Это тот самый!" "Исключили из комсомола!" "Выгнали из университета!" "Грузчик у Абрамова!").

ДАМА В БЕЛОМ (неожиданно обращаясь ко мне). Скажите, молодой человек, здесь девочки говорят, что вы учились в университете... Правда это? (постепенно стихает).

ЕРОФЕЕВ. Да, учился, - полтора года!..

ДАМА В БЕЛОМ. За что же вас выгнали?

ЕРОФЕЕВ. Тттаак. Это мое личное дело. Даже слишком личное. ДАМА В БЕЛОМ. Как это - личное? Гы-гы-гы... (Всеобщие смешки). Влюбился что ли?

ЕРОФЕЕВ (стараясь подавить в себе раздражение). Господа! Неужели вы все настолько пошлые люди, что у вас даже выражение "личное дело" ассоциируется с женскими трусами? (Взрыв раскатистого хохота, мужская половина глядит на меня почти с любовью, женская - почти гневно).

ДАМА В ГОЛУБОМ. Интересно, все в университете такие "умные"? Или только вы...

ЕРОФЕЕВ. Нет, основная масса даже глупее вас! (Всеобщий хохот).

ДАМА В БЕЛОМ. Ссскотина!

ДАМА В ГОЛУБОМ (убийственно спокойно). Все-таки меня интересует, зачем вы, такой умный, пришли к глупым рабочим?

ЕРОФЕЕВ. А разве я считаю рабочих глупыми? я сказал "вы" - просто из уважения лично к вам! (Снова хохот; библиотекарь пытается принять на себя роль соглашателя, Ерофеев ее прерывает). ЕРОФЕЕВ. А теперь, гражданка, позвольте мне задать вам контрвопрос: зачем вы пришли в мужское общежитие? (Смех, взоры всех присутствующих обращены к даме в голубом. Последняя продолжает сохранять гневное спокойствие).

ДАМА В ГОЛУБОМ. Танцевать.

ЕРОФЕЕВ. Гм... Как я уже мог заметить, гражданка, вы танцуете только с мужчинами...

Значит, вам доставляет удовольствие не сам процесс танца. Вам просто интересно находиться в тисках мужских конечностей... (Смех). А ведь признайтесь, такая близость, хоть она и красива, вас же полностью не удовлетворяет?! (Басистый мужской смех).

ДАМА В ГОЛУБОМ (гневно). Что вы этим хотите сказать?

ЕРОФЕЕВ. Неужели вам еще непонятно, гражданка? Ведь "скверная прямота лучше, чем красивый обман"! (Продолжительный хохот, дама в голубом совещается с дамой в черном, явственно слышим обрывок: "Позвать воспитателя... напился, скот..."; черное и голубое покидает красный уголок: входят несколько танцующих пар, привлеченные необычным хохотом). ДАМА В БЕЛОМ. Сколько ты выпил, молодой человек?

ЕРОФЕЕВ. Вчера утром - сто пятьдесят граммов. Если вы сомневаетесь приблизьте ко мне свою физиономию - я на вас дохну. (Смех).

ДАМА В БЕЛОМ. Ох, ну и скотина же...

БИБЛИОТЕКАРЬ. Извините! Молодой человек!

ЕРОФЕЕВ. Да?

БИБЛИОТЕКАРЬ (заглушая негодование дамы в белом). Молодой человек! Ведь это все над вами смеются! Над вашей дуростью! Вас, наверное, не научили культуре в университете?! Или вы просто грязный человек, что ненавидите людей с чистой душой - или просто у вас больная совесть...

ЕРОФЕЕВ. Послушайте, госпожа библиотечарша! (Смех). Несколько дней назад я действительно восторгался вашей душевной чистотой... В сопровождении Станислава Артюхова, как сейчас помню, вы спускались с пятого этажа и оба имели чрезвычайно изможденный вид... Вам слишком по душе третья стадия... (Невообразимый хохот, затем улыбки любопытства). БИБЛИОТЕКАРЬ (болезненно выдавливая слова). Вам всегда, молодой человек, снятся такие интересные сны? (Смех).

ЕРОФЕЕВ. Не прикидывайтесь дурочкой, товарищ библиотечарь! У вас это выходит подозрительно естественно! (Новый взрыв хохота; библиотечарь пытается остроумно отразить удар, слышно только "университет", "остатки мозга"; дама в белом пытается занять передовую позицию, умеряя общественный смех).

ДАМА В БЕЛОМ (соревнуясь со мной в остроумии и, вероятно, стараясь отбить у меня пальму первенства). Господин грузчик! Ведь из университета выгоняют только остолопов, у которых слишком тупые головы! А вы ведете себя здесь так, как будто вы всех умнее...

ЕРОФЕЕВ. Помилуйте! Откуда у вас такие сведения?! Если бы из университета изгоняли только остолопов, я бы не стал с вами спорить, а сразу бы задал вам вопрос: с какого факультета вы изгнаны? (Смех, аплодисменты ценителей юмора). И потом - господа! Неужели вам не скучно ограничивать запас своего остроумия рамками моего изгнания из университета? Не слишком ли это узко для таких умных людей?! (Поощрительный смех, всеобщее оживление). ДАМА В БЕЛОМ. А вам не скучно щеголять тем, что вы не приучены к культуре?

ЕРОФЕЕВ. Позвольте! А вы, случайно, не со мной ездили сегодня утром на толевый завод? Нет? (недоумение в зале, встревоженное ожидание).

ДАМА В БЕЛОМ (презрительно). Ездила. Ну и что же?

ЕРОФЕЕВ. Вы сидели в кузове с неизвестной дамой и вели интимную беседу, при этом вы совершенно не стеснялись мужского присутствия. Между прочим, как сейчас помню, вся ваша беседа сводилась к тому, что же все-таки лучше - лежит или стоит. (Гул негодования, мужской хохот).

ДАМА В БЕЛОМ (окрашиваясь в пунцовое). Ну и оссел же ты! Мме...

ЕРОФЕЕВ. Позвольте! Я не понимаю, отчего вы краснеете! Ведь я же цитирую вам слова молодой девушки, которые были произнесены в присутствии молодых людей обоюбого пола и которые утром воспринимались как верх остроумия! (Аплодисменты). Видите - я даже

стыжусь воспроизвести здесь вслух ваши милые шутки - а ведь вы - женщина! (Гул одобрения; дама в белом листает журнал и силится найти достойный ответ).

ПАРЕНЬ. Все женщины - такие! Их не переделаешь! (Возгласы: "Ерунда!" "Правильно!")

ДАМА В БЕЛОМ. Ты бы уж поумнее что-нибудь придумал...

ЕРОФЕЕВ. Гражданка! Я не выдумываю, а констатирую факт! А если даже я выдумываю, предположим, - так какого черта вы залились краской? Или просто потому, что румянец слишком идет к вашему белому крепдешиновому платью? (Неимоверный хохот).

ПАРЕНЬ (только что вошедший и серьезно воспринимавший конец дискуссии, старается заглушить смех). Правильно, студент! Давно надо было бороться за чистоту нашей любви! А то современные...

ЕРОФЕЕВ. Да, конечно! Я всегда был поклонником чистоты! Если бы здесь, вот сейчас, какой-нибудь безрукий и безногий горбун вскарабкался на золотушную проститутку, я бы расцеловал их обоих!

4 апреля

1. "Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?" И сказал им Иисус: "...вино молодое вливают в новые мехи". "Не думайте, что Я пришел нарушить закон". 2. "Никто не может служить двум господам". "Отдавайте кесарево - кесарю, а Божие - Богу". 3. "Блаженны нищие духом". "Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби". 4. "Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей... Что Бог сочетал, того человек не разлучает". "Всякий, кто оставит... жену... ради имени Моего... наследует жизнь вечную". 5. "Не мир пришел Я принести, но меч". "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими". 6. "Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет". "Вы от нижних, Я - от вышних". 7. "И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие". "На путь к язычникам не ходите". 8. "Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником". "Почитай отца своего и мать твою". 9. "Царство Мое не от мира сего". "Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю". 10. "Не противься злему". "Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь". 11. "Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и, что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях". "Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилище и в синагогах своих будут бить вас".

6 апреля

"Знаете что, Ерофеев? Не знаю, чем вы меня заинтересовали конкретно, но вы человек слишком своеобразный. Да вы, наверное, и сами это чувствуете прекрасно. Единственное, что я вам посоветую - оставьте это. Надеюсь, вы понимаете, о каком "этом" я вам говорю...

Будьте проще. Не думайте, что все они глупее вас и поэтому чем-то вам обязаны... Я не собираюсь делать вам комплименты, но все-таки могу заметить, что у вас проглядывают какие-то прекрасные задатки. Правда, они у вас опошлены и загрязнены чем-то чужим, не вашим, наносным. И все-таки для вас легко преодолимы... Не знаю, откуда у вас это наносное, - вероятно, просто кокетство... А оно вам не к лицу... Больше читайте... Для вас это самое главное. Кстати, я могла уже заметить, вы не относитесь к числу "поверхностно воспринимающих" литературу... Больше читайте... у вас слишком скромная эрудиция... а каждая прочитанная вами книга возвысит вас на голову... Это не каждому дается... И все-таки, Ерофеев, - можете на меня обижаться, - вам еще слишком далеко до рабочей молодежи".

7 апреля

Мне казалось, что я ухожу далеко и за мной никто не гонится. И я действительно уходил далеко - и никто не гнался за мной. Мне казалось, что что-то необыкновенно черное неожиданно меня остановило и заставило длительное время озираться вокруг. На самом же деле я несколько не озирался, озираться было некогда - на меня с неимоверной скоростью наезжал автомобиль новейшей марки... На секунду я вынужден был

уподобиться горным сернам. И в ту же "секунду" сообразил, что можно было вполне обойтись без уподоблений - черный дьявол без особого напряжения сделал отчаянный разворот, ласково обогнул меня и затормозил у здания германского посольства. В первое мгновение я был слишком взволнован тем, что всеблагое провидение (в который уже раз!) избавило меня от трагического исхода. В следующее мгновение я вынужден был устыдиться себя самого и своей минутной (впрочем, даже не минутной, а секундной) трусости. Затем встал в позу Наполеона и задумчиво посмотрел на посольский подъезд. То, что я увидел, наполнило меня до отказа мистическим трепетом. И чуть было вновь не заставило "уподобиться"... "Посол, - промелькнуло у меня в голове и задрожало где-то в ногах, посол!.. Может быть, даже необычайный!.. Может быть, даже... ну, конечно, - раз необычайный, значит и полномочный! Значит, и то, и другое вместе... И все это вместе... обогнуло меня!! Меня!.. Обогнуло..." "А кто - я? Кто?! - спросил я себя и принял позу, среднюю между аристотелевской и сократовской. - Кто?! Не Поспелов? - нет! Не Даргомыжский? - нет! Тогда кто же - Беркли? Симонян? Заратустра? Жуков? нет... Назым Хикмет? Нежданова? Прометей? Чернов? Рафаил? Микоян? Правый полусредний? Леонардо да Винчи? - опять же нет... Тогда кто же? Неужели обыкновеннейший пуп?.." "Гм... Пуп... - чудесно! Пусть будет - пуп! Пусть обыкновеннейший!.. Но ведь... уступил мне дорогу посол агрессивной державы!.. А? Хе-хе-хе-хе! Уступил!! Жалкие люди, - мысленно произнес я, оглядев с ног до головы встречающих пешеходов и сменив аристотелевскую позу на позу постового милиционера, - нет, все-таки, до чего жалки эти существа и до чего же мелочны их волнения! Один оплакивает утраченную младость, другого укусила вошь, третьему не оплатили простой, четвертый разочаровался в запахе настурций, пятому разбили голову угольным перфоратором... Неужели бы и им уступил дорогу посольский экипаж?.. А?.." "Нет, черт побери, им бы, конечно, не уступил дорогу посольский экипаж. Если даже рассудить здраво, так не только необычайный посол, но и зауряднейший смертный никогда не уступит дорогу человеку, которому всего-навсего разбили голову угольным перфоратором. Значит, есть во мне что-то божеское... Ну, не божеское, а что-то такое... неизмеримо более высокое, нежели полномочные представительства и международные конфликты... И это "что-то" заставило даже Каина на мгновение стать гуманным!" "Странное дело, - продолжал я, на этот раз обращаясь к встречным, - очень возможно, что и работники советского министерства, встретив посла на ковровой лестнице, почтительно отступали, расшаркивались и окрашивали лицо свое в улыбку раболепного смущения... а получали в награду снисходительное поплеывание и, ослепленные саксонской воинственной гордостью, заражались оборонческим страхом!" "Очень возможно также, что страх этот породил в посольском мозгу "далеко идущие выводы". И - кто знает! - может, дула боннских орудий, направленные к сердцу освобожденной Польши, ждали только сигнала; а поводом к нему могло послужить малейшее выражение примирительно-восточной дрожи!.. А дальше... - вы понимаете, что дальше?! - миллионы искалеченных жизней, озера материнских слез, девочки с разбитыми черепами, заокеанский кал в усадьбе Льва Толстого и... все что угодно!" Я разрыдался. Слезы лились на тротуар, брызгали на продовольственные витрины. Перламутровочистые слезы... слезы человека, заронившего искру гуманности в зачерствелое сердце... слезы, избавившие от слез миллиарды материнских глаз. Они, эти слезы, словно бы делали полноценными те миллионы человеческих жизней, которые, возможно, были бы искалечены. Они как будто бы склеивали разбитые черепа маленьких девочек и вымывали кал из усадьбы Льва Толстого. Они... А эти люди не понимали меня. За минуту до того спасенные мною, они смеялись над моим умилением. "Посмотрите... его чуть не раздавила машина... и он плачет... плачет, бедный... Ему было, наверное, так страшно..."

29 апреля

- Ерофеев! С вами разговаривает сержант милиции, а не девчонка! - Ну и что же? - Поэтому не стройте из себя дурачка! - Помилуйте, товарищ сержант, где же это вы видели, чтобы кто-нибудь перед девчонкой строил из себя дурачка? - Хе-хе-хе, Ерофеев,

вы думаете, если я сержант милиции, так и не имею никакого дела с девчонками? - Ну, так в таком случае перед вами не девчонка, поэтому стройте из себя не дурачка, а сержанта милиции. (конец марта 1957 г.)

- Я смотрю, Ерофеев, ты младше меня всего на год, а ты сейчас находишься на таком этапе, на котором я был, наверное, года три или четыре назад. Ты увлекаешься стихами, а у меня это уже давно пройденный этап... Правда, я уж не так увлекался, как ты, - чтобы целыми днями только этим и заниматься... - Знаете что, товарищ слесарь-водопроводчик, я тоже когда-то говорил глупости... но это у меня уже давно пройденный этап. Правда, я и раньше увлекался этим не так, как ты, - чтобы целыми днями только этим и заниматься... (26 апреля 1957 г.)

- Это за что же меня, бедного, расстреливать? - За то, что ты врах! - Это почему же я врах, товарищ начальник? - А это уж у тебя спрашивать не будут, Ерофеев. У нас слишком мало разговаривают с такими, как ты, которые нам мешают! - Мешают?! Чему мешают, товарищ начальник! - Чему?! Достижению нашей общей цели, Ерофеев, если это вам не известно! - Ну, так как же мне быть, товарищ начальник... Вы просто цитируете Игнатия Лойолу, и мне становится не по себе... Вы знаете, кто такой был Игнатий Лойола? - Не слышал. - Это был, между прочим, один из прославленных сподвижников Владимира Ильича Ленина, талантливый марксист, о котором даже Плеханов отзывался довольно... - Не слышал, не слышал. В "Кратком курсе" его не было. И фамилия какая-то... - Да-а, он по происхождению испанец, по взглядам - интернационалист. Между прочим, дивную фразу произнес Игнатий Лойола на заре нашего века: "Цель искупает средства"... - Как раз для тебя эта фраза, Ерофеев... Для тебя и тебе подобных! Марксисты... - Да, но почему - "тебе подобных", товарищ начальник? Во-первых, я слишком бесподобен... А во-вторых, вы знаете, кто такой был Игнатий Лойола? - Нну... я же тебе говорю, что не слышал... И не важно, кто был... - Игнатий Лойола был, между прочим, самым фанатичным из всех средневековых инквизиторов... это был "талантливый повар", даже Кальвин отзывался о нем... - Так что, Ерофеев, я тебе советую все это прекратить, иначе... - Да, и между прочим он был немножко похож на вас, товарищ начальник. И ходил в таких же очаровательных носках... - Да-а? - Угу. И, между прочим, его повесили. И, между прочим, когда он висел, то при этом очаровательно дергался... - А вы думаете, я вас не понял, Ерофеев? - Ну, это даже не важно, поняли вы или... - Ты невоспитанная свинья, Ерофеев! - И тем не менее он очаровательно дергался...

(29 апреля 1957 г.)

- Что это ты на меня исподлобья смотришь? - А разве я исподлобья смотрю? - Как на лютого врага... - Нет, что вы, товарищ секретарь, у меня просто есть одна интересная привычка: на людей, которых я презираю, я смотрю прямо; на людей, которых хоть немножко уважаю - сбоку... - А ты сейчас на меня смотришь как-то и не так, и... не сбоку... а вполборота... - Ннну, я просто имею обыкновение смотреть так на людей, которые... недостойны презрения, но и уважения тоже недостойны... Я смотрю так на тех, которых умный человек считает умнее себя, а дурак - глупее себя... - Ккакой ты все-таки умный, Ерофеев! - Нет, товарищ секретарь, я от рождения идиот. (29 апреля 1957 г.)

1 мая

Давно уже я вошел в этот автобус. Так давно, что даже не помню теперь, как встретили меня пассажиры... Наверное, никак не встретили: ведь входят и выходят так много, зачем же примечать каждого... Они просто не хотели примечать; им мягко, тепло, - они даже не смотрят на выход, на "свой" выход. И не смотрят на тех, кто входит: для чего им смотреть на них, если им так уютно!.. Меня заинтересовало: если все-таки они скоро выйдут - для чего же сидеть? Они же выйдут на холод - так и заранее согреться незачем! Они ведь и вошли, чтобы потом - выйти!.. Удивительные пассажиры! Если бы я все это выражал вслух, меня бы не поняли... На меня бы оглянулись, зашикали: "Какое вам дело!" Вечно это ругаются пассажиры, которым не хватило мягких сидений! Успокойтесь!.. успокойтесь... Я это уже знаю заранее: ...успокойтесь... какое вам дело... Потому я внешне

не восставал; просто - немножко смешно было: сидят - ну и бог с ними... а все-таки, для чего сидеть, если можно встать... или даже на пол лечь - это ведь гораздо умнее, лечь на пол и ковырять в носу... Сидеть - это и я умею, это каждый может - сидеть... Я даже задумался: если бы вдруг освободилось сидение, рядом со мной... что тогда?.. Я ведь страшно люблю задумываться. ...Нет, конечно! я ни за что не сел бы! Ведь рано или поздно все мы выйдем! И тот, кто сядет вместо меня - тоже. Встанет и выйдет. К тому же... Вот это уже самое главное: "к тому же" любая остановка может быть моей. Когда меня спрашивают: "Гражданин, вы на следующей сходите?", мне кажется, что меня дразнят. Стоит, мол, нарочно, чтобы мешать. Без билета... а ведь смотрит на всех так, как будто бы кто-то виноват, что ему приходится стоять... Не знает сам, куда едет... Удивительный пассажир! Даже в голосе чувствуется злоба: "Путается... Отошел бы в сторонку, что ли..." И я просто не могу их понять. Задевать безобидного - это же... Да и какое им дело! Разве я виноват, что меня втолкнули сюда! Они же сами видят, что мне не только что отойти в сторону - мне даже повернуться невозможно... Я, может, для того и еду, чтобы понять: для чего же едут другие... И вообще: для чего входить туда, откуда есть выход...

6 мая

Грузчик второго строительного управления Ремонтно-строительного треста получает инструктаж в германском посольстве! Прокламации под мартиновской юбкой! Бомбы над кинотеатром "Пламя"! Грузчик второго строительного управления Ремонтно-строительного треста требует конституционной монархии! Начало стачечного движения за увеличение рабочего дня! Шатобриан под подушкой бывшего комсомольца! Евангелие на обеденном столе! Служащие трестовской бухгалтерии вынуждены признать "Уголовный кодекс Союза ССР" значительной вехой в развитии пасторального жанра! Советский грузчик в объятиях Тайницкой башни! Предсмертные судороги подполковника Дробышева! Коммунисты идут на компромисс!

7 мая

У меня расшатанные нервы. Когда я встречаю на улице подозрительный взгляд, я, против своей воли, отвечаю тем же. Если при мне оскорбляют человека, которому я признателен, мне вдруг становится так хорошо... В такие минуты я не замечаю подозрительных взглядов и смиренно потупляю голову... А стоит мне отойти от оскорбителя, я поворачиваюсь и смотрю на него презрительно. Он отвечает мне тем же.

8 мая

- Я тебя не понимаю... Или ты просто дурак, или ты человек, упавший с луны. Другого объяснения нет. Или, может, ты просто пьяный... - Кстати, я совершенно трезв... Нальем?.. - Давай... - Тэк - не торопись, начнем сначала... Во-первых, ты сказал: я тебя не понимаю, - ты, наверное, дурак... Но ведь не только умный не может понять дурака, а чаще как раз наоборот, дурак не может понять умного. Так что этот вопрос спорный, и мы его отодвинем... - Давай говорить просто. - Давай просто. Мне все равно. - Кгхм... Ты любишь... Родину? - Мдэс... Стоило ли, право, делать умное лицо и произносить "кгхм"... - А все-таки... - И "все-таки" не могу ответить... У меня, например, свое понятие "любить" и свое понятие "Родина"... Может быть, для меня выражение "любить" имеет то же значение, что для вас - "ненавидеть", - так что ни "да", ни "нет" вам не дадут ничего... - Гм... Это я не понимаю... Мы же условились говорить просто... - Так я и говорю просто. Проще - некуда... - Предположим, для меня "любить Родину" это значит "желать ей блага"... - Чудесно... Теперь представьте себе: я тоже говорю: желаю ей блага... Но для меня, может быть, благо - поголовное истребление всего населения нашей, извините, Родины... А для вас совсем другое... Для вас "желать" значит "стремиться к достижению", а для меня - "отворачиваться" от того, что мне нравится... - Ну, у тебя тогда нечеловеческие понятия обо всем... - Ты хочешь сказать: "не мои"? - Ну, раз "не человеческие", значит, в том числе и "не мои"... Да и зачем придавать каждому слову свое значение - возьми ты самое простое слово: "бежать"... Ведь ты же не придашь ему никакого своего значения... - Нет, конечно... Потому что "бежать" не имеет никакого

отношения к... так сказать, духовной стороне человека... так же, как "солнце", "баклажан", "ЦК", "денатурат" и так далее... Эти вещи можно понимать, но не чувствовать... К тому же смысл всех этих понятий - неизменный и точно зафиксирован в словаре. - Но ведь в словаре-то давно уже зафиксирован смысл и всех этих ваших... духовных слов... Возьмет любой человек словарь - и ему совершенно ясно, какое правильное значение имеет слово, ну хотя бы "желать"... - Гм... В таком случае, пусть этот ваш "любой человек" сначала справится в словаре, что такое "общепризнанное" и что такое "индивидуум"... - Хе-хе-хе-хе... Остроумно, конечно... Но все-таки... у всех уже укоренилось издавна одно общее понятие "желать"... Я, например, лично первый раз встречаю человека, который еще пытается втискивать какое-то другое значение в это слово... - Ну, тогда вы сами попутно справьтесь в словаре, что такое "укоренившееся" и что такое "искоренять"... - Черт побери, неужели тебе еще не надоел "словарь"... Вот я еще чем хотел поинтересоваться...

Ты говоришь, что у тебя свое собственное понятие о слове, например, "любить", "ненавидеть" и так далее... А вот ты почему-то путаешь эти понятия, пусть даже они будут и твои собственные... Ты вот говоришь, что "может быть, для меня любить - то же, что ненавидеть" и так далее... - Ну, во-первых, я совсем не так выражался... И потом - что же здесь особенного? Ты никогда точно не определишь слова, которое выражает какую-нибудь "отрасль" твоего душевного. Каждое определение потребует у тебя слов, которые тоже нуждаются в определении... И в конце концов, все окажется неопределенным и невыразимым... А то, что две неопределенные вещи путаются, - в этом нет ничего удивительного... - Ну, так с таким же успехом могут путаться и все твои эти "обычные" слова, их тоже надо опре... - А что ж, они и в самом деле путаются... Вот я, например, перечислил четыре совершенно обычных слова... У вас, наверное, путаются понятия "ЦК" и "солнце"... А у меня, например, "ЦК" и "баклажан"... - Хе-хе-хе-хе... - А что? - спутать их очень легко... И то, и другое "невкусно без хлеба"; и то, и другое немного дороже ливерной колбасы, притом, обе эти вещи своей внешностью напоминают что-то такое... - О-ах-ха-ха-ха!! - Потом! - я, например, путаю "ЦК" с "денатуратом" - и то, и другое имеет синеватый оттенок, затем - оба они существуют, могут существовать и сохранять свою целостность только в твердой и надежной упаковке. Вы, вероятно, знаете, что это за "упаковка"... Далее - обе эти вещи распространяют смрадное благоухание... и, в довершение всего, при поднесении зажженной спички легко вспыхивают и "горят мутным коптящим пламенем"... А? Как вы думаете? - Все это, конечно, очень хорошо... Но я-то, вообще, никак не думаю... - Чудно, чудно... я всегда безумно любил людей, которые "никак не думают"... - Да?! А может быть, вы, как всегда, втискиваете в слово "люблю" свое значение "ненавидеть"?.. Ха-ха-ха... - Нет, почему... Я вынужден пока "втискивать" в это слово общепризнанный смысл... Я, как и все грузчики, слишком благогазумы... - Что-о-о?! Вы - грузчик?!?!

9 мая

Господь Бог цитирует Федора Тютчева! Смотрите на небо! Смотрите на небо! Это - печать Всевышней нервозности! Проверьте исправность громоотводов и захлопните чердачные окна!

11 мая

Иногда припоминаются сентябри... Кажется - как это ни странно, - что через полгода снова будет сентябрь... И снова, как в сентябре, в памяти всплывет апрельская икона, и запахнет октябрьским одеялом... А теперь прошлогоднее исчезает... По временам что-то недавнее повисает в воздухе... Загорается лампа... При свете красного абажура от моста через Язу ползет холодный туман... Озаряется сердитой улыбкой музыкантовская рожа... И окоченевший пьяный хватается за фонарный столб. А потом барабанит дождь... И, привалившись к стене, побледневшая Лидия заплетает косы... А паровоз гудит простуженным голосом, потом оседает, окоченевший, к подножию фонарного столба... И шепчет, опустив голову в тарелку: "Дети мои... Дети мои..." И гораздо отчетливее - во сне... А наяву - на секунду, неясно, расплывчато... Особенно, когда приятно пахнет

осенью... А потом - холодом... Удивительное ощущение!.. Словно бы 56-ой год совершенно неожиданно упал мне на голову, разлетелся на куски апрелей и сентябрей... И теперь звенит в голове... звенит...

14 мая

...Все издохнут! Как собаки издохнут! И памяти о них никакой не останется! Потому-то и бесятся все! Думают, что если они будут убивать да резать, так о них помнить будут! Все одно!.. Ха-ха-ха-ха! А в сумасшедших домах! Ты видел?! - в сумасшедших домах! Что там творится! А-а?! Раньше хоть там умные люди сидели! Изобретали, читали, писали - да от этого и сходили с ума! А теперь - что? Теперь каждая сволочь падает на улице и ногами трясет! На Канатку ему, собаке, хочется, чтобы ни о чем не думать!.. ...А все это ходят в бостонах! Красятся! Пудрятся! Духов на себя льют! Так это... двигают бровями! Глазки строят! Читают романы! Если есть кто-нибудь заразный, так на него косятся, боятся заразиться да издохнуть!.. А?! Хха-ха-ха! Боятся издохнуть!.. ...Ты понимаешь, я точно такой же... И алкоголиков - всех! - за людей не считаю! Это уже не люди! Мы все издохнем! Так надо брать все, что тебе нравится, пока ты жив! Я вот, к примеру, пью так просто! Нравится просто пить! Вот и пью!.. ...Скверным делом ты занимаешься, малый! Никакой такой особенной психологии нет ни у кого из этих вот! И изучать нечего! Все люди как люди! Каждому человеку хочется выпить! А у них немножко поменьше воли, не могли воспитать в себе с детства волю! Любой человек в любую минуту с удовольствием бы выпил! А он просто сдерживает себя - таких вот и надо уважать! А не этих вот, которые стоят здесь целыми днями да харкают!.. ...Я не понимаю, чего все жалуются на плохую жизнь! И еще говорят, что поэтому и пьют, что у них плохая жизнь! Я, например, думаю, что, наоборот, от хорошей жизни все и валяют дурака! Будь у них мало хлеба, так они бы не стали напиваться до дурости, а потом друг другу бить морды! И лучше будут жить - все равно пить будут, еще больше, чем сейчас. И морды...

...Ка-агда я пья-а-ан, А пья-ан всегда-а-а я-а-а, Больну-ую ду-у-у-у-ушу Я во-о-одкой а-атважу-у...

...И я тебе скажу, почему война так действует на людей! Все-таки человек только в древности был зверем, и все время двигался по гуманной линии. Сейчас нет ни виселиц, ни плах, ни гильотин! И гораздо гуманней был человек в этом году, скажем, чем двадцать или даже десять лет назад! А на войне - наоборот! На войне, что ни год - то все бесчеловечнее делается это оружие... Поэтому между мирным и военным временем все больше делается пропасть! И она все больше и больше!.. Ее поэтому и боятся - те, которые пойдут...

...Мне-э-э ррро-оди-ну-у-у, Мне-э-э ми-и-илу-ую-у, Мне-э-а ми-и-илай да-айте взгля-ад...  
...Хлопцы! Сынки! Осчастливьте старика! Я линию Маннергейма... брал с боем! Никогда не шутил с изменниками, а душу всю выкладывал, кровь... ...И поделом! Бабам не место в пивной! Раньше-то, посмотришь, и не видно нигде было, чтобы баба допьяна опивалась, а теперь чище мужиков! Рукавом утираются! И... голландского сыра не надо, а?! Хя-хя-хя!..  
...За убийство - в тюрьму сажают, расстреливают! Недавно у нас одну посадили, за то что своего ребенка задушила, двухмесячного! По закону нельзя убивать ребенка! А аборт не запрещаются! Это что же получается убивать ребенка в утробе матери - можно. А как вылез - уже нельзя, тюрьма! А что, если его задушить, пока он только еще голову просунул - это что? карается по закону или нет?! ...Да здравствует великий наш наррод - стрроитель коммунистического отечества! И нашего великого завоевания от всех капиталистических попыток... ...Господа! Нюхайте кильку! Нюхайте кильку! Лучшее средство от горестей и заразных заболеваний!.. ...Бывал и в Сталинграде, бывал и в Берлине. Наш брат Иван ленив, ленив... ну уж а если его разозлят, тогда спуску не жди! Что статуя в Берлине стоит, так это хорошо, просто так бы статую не поставили! А если рассудить - так незачем, вроде насмешки как будто... Да и нашего брата Ивана не за что винить, озверели, озлобились. Мы все в Берлин-то вступали с таким видом, как будто бы это саранча, которых всех надо уничтожить, всех немцев... Побили много, правда, баб прямо в подъездах ебли и сразу

штыком в пузо... Да ничего не поделаешь, немцы тоже наших стариков убивали... Да ведь у них и цель-то была такая - всех истребить... А у нас ведь миссия освободительная...

Немцев от немцев освобождали... ..С тех пор и трясутся руки. Ты, малый, не поймешь это, нервное состояние. А все равно никого не виню, ни государство, ни войну. Сам виноват, вот и исповедывался, как Мармеладов перед Раскольниковым. Хе-ххе-ххе! Какой я Мармеладов... Как ты - Раскольников... Хе-ххе... Бывший студент... Может, пойдешь убивать старух, а потом в обморок падать... Хе-ххе-хе... Не выйдет... Теперь уже не выйдет. Теперь старухам почет, пенсия. А молодым - все дороги открыты, и в пивную тоже... ..Я же вввам говорю, что не продавал! Не пррродавал! Не смей хватать, паскуда! Вы у нас для порядка поставлены, а если человек честным трудом... ..Удивительные люди сидят у нас в правительстве! Как будто бы умные, а такие глупости иногда делают... Возьмите хотя эти обеды, банкеты! Все время раньше допускалась такая глупость: человек, который руководит, ест лучше и больше, чем те, которыми он руководит. Это так нелепо! Что даже и сейчас наши руководители больше всего любят эту привычку! Удивительно... Неужели они не чувствуют, до чего это глупо... ..Так что и жизни-то, по сути дела, нет никакой. Пьем - и все. А отчего пьем? На какие деньги пьем? - это, может, и дела никому нет... Может, это я кого-нибудь убил, да теперь вот его и пропиваю, может, я его и не убивал, а просто себя считаю убийцей... Я, может быть, сам девочку из огня вытаскивал, может, она горела и кричала, а я ее вытаскивал... А теперь и... ппропиваю ее... Тут... душа человеческая много знает... от этого обычно и... ..Объедаются, сволочи! Крровушку народную пьют! Соревнуются... заокеанские империи кожу с наррода... А русский - душевно ссвободный человек! Хочу - пью... Хочу - плачу, хочу - в моррду... А у нас не так! У нас, у русских - не так! Захотелось - иди, бери домой, все чинно, по-образованному, ...главное, чтоб шуму не было, чтоб никто не кричал... чтобы все - тихо, это самое главное... ..Прравильно! Прравильно!! Мы имеем полное право!.. ..Даже ссать с третьего этажа запрещают. А в каком это законе написано, что ссать с третьего этажа нельзя... ..Думают, мол, помнить будут... А все одно...

15 мая

"Вы, видящие бедствия над вашими головами и под вашими ногами и справа и слева! Вечно вы будете загадкой для самих себя, пока не сделаетесь смиренными и радостными, как ребенок. Благо дано всем Моим детям, но часто в своей слепоте они не видят его. В своем самодовольном легкомыслии они отворачиваются от Моих даров и с плачем жалуются на то, что у них нет того, что Я дал им. Многие из них отрицают не только дары Мои, но и Меня, Меня, источника всех благ. Оставьте ваши невежественные мысли о счастье, о мудрости, оставьте все ваши желания, - тогда познаете Меня и, познавши Меня в себе, глядя из великого мира внутри себя на малый мир вне вас, вы будете благословлять все, что есть, и будете знать, что все хорошо и в вас и вне вас". Криш. (12 ч. ночи)

16 мая

"Не нужно, ведь тебе же сорок лет... Ты поправишься... Это же ты просто заболела..." "Доченька, не надо... Помнишь, ты покупала елки... Подходила к каждому ларьку, просила самую маленькую и красивую... А потом бросала... Я же тогда всех уговаривала: не надо смеяться... не надо смеяться..." "Ты ведь знаешь, что болела тогда... я же ведь тебя уберегла... а ты говорила, что я виновата... Плакала, говорила, что тебе стыдно... Помнишь?.." "Ты ведь меня узнаешь?.. Не нужно так смотреть... Это оттого, что ты заболела... Помнишь, Венька к нам приходил... Ты выпила маленькую-маленькую рюмочку, а потом говорила, что тебе грустно... И все какое-то тяжелое и грустное..." "А Анна Андреевна вечно будет жить... Упокой, Господи, душу ее страдальческую... Она и сейчас тебя любит... Придет к тебе... А ты ведь тогда и смотреть так не будешь... Смеяться будешь... рассказывать... что ничего и не было... А просто заболела немного... И стало грустно... Да?" "Узор будешь вышивать... и все поймешь... выздоровеешь... Все будет опять хорошо... как раньше..."

17 мая

- Вот ты говоришь: высшие цели... А ты не думаешь, что существуют умные люди - умные! - а они не понимают, что это значит! Не понимают! Не потому, что не могут! - не хотят! Зачем мне издыхать ради высшей цели, если она меня не воодушевляет?! - Иногда мне самому становится страшно! Представь себе - я ем! Ем, потому что знаю - если я не буду есть, я не смогу работать! Но если я не смогу работать, я вынужден буду не есть! Кажется - просто! Сомкнутое кольцо - и никакой цели! Понять это просто, а представить себе, прочувствовать станет жутко! Ты говоришь - высшие цели? А зачем они! Seriously, зачем? - Встань в мое положение. С утра до пяти вечера ты выгружаешь из печи кирпич.

Температура 40-50 градусов. Кирпич раскаленный. На улице, если ты даже урвешь полчаса на отдых, - жарко. Работаешь почти голый, глотаешь испарения горячего кирпича - и все время одно и то же: наклоняешься над кирпичом, берешь, грузишь на тележку, ее отвезят, моментально подвозят другую - у тебя уже кружится голова, грудь жжет, во всем теле ломота, ты еле держишься на ногах - и все равно: наклоняешься, берешь, грузишь, опять наклоняешься... - Ты поднимаешь один кирпич - и знаешь, что за ним пойдет еще семьсот штук. Нагрузил семьсот - начинаешь снова. Ты идешь домой - и знаешь, что завтра с утра ты опять с головой залезешь в эту чертову печь и начнешь все сначала. Вечер дается тебе, чтобы ты мог подкрепить свои силы, поесть, отдохнуть - а завтра... - В конце концов, тебе уже ясно, что именно-то в этой печи - вся цель твоей жизни. И тебе совершенно безразлично, вдохновляют ли тебя высшие цели или ты работаешь бесцельно. Тебе все равно, в каком государстве ты работаешь и какими идеями руководствуются твои властители. Тебе совершенно все равно. - Когда-то я много читал, теперь ничем не интересуюсь. Просто я знаю, что ни одна книга и ни одна музыка не выразит моего чувства. Мне нужно произведение, которое выражало бы самые сложные чувства - и одновременно не выражало бы ничего. Да вообще-то мне и ничего не надо. - А казалось бы, чего мне жаловаться! Я работаю в адских условиях - но зато: полторы тысячи!! Я могу всегда быть сытым и хорошо одеваться - да, но сердце, легкие... Еще лет пять - и я уже не жилец. - Иногда забудешься у печи... Вспомнишь, что работаешь и для детей...

Бессознательно задаешь себе вопросы: какие дети? зачем дети? - грузить кирпич?? Тогда зачем он, этот кирпич? Берешь один; как сумасшедший, бросаешь его об пол, разбиваешь; потом второй, третий, четвертый... Потом одумаешься - ну, разбил ты один кирпич, второй, но ведь впереди еще семьсот, а там еще... Останавливаешься, переводишь дух, начинаешь все сначала... - Все это хорошо: люди издавна так работали, но ведь у нас все это, вместе взятое, без зазрения совести называется счастьем! Единственное, что у тебя остается, - водка, а ты пьешь ее осторожно, крадучись, исподтишка... Любая неосторожность - и тебя оштрафуют на 50 рублей! - И все это - ради высших целей!

19 мая

Все в той же малиновой кофточке... страшно...

20 мая

- Ну куда я сейчас пойду?.. У меня... ннет... ничего нет! Что, ты думаешь - я так и пойду? Чтобы все смеялись надо мной - пусть... Да?! Ты что же тты... человека понимаешь? Тупо посмотрел на меня. Я отвернулся: попытался придать своему лицу безразличие. - По-твоему... я должен на кирпичах спать... Так, что ли?.. Рубля жалеешь... своему другу... рубля жалеешь... В рррот я всех ебу в таком случае... Мне нужно... понимаешь?.. напиться нужно... Я пробовал убедить его, что он и без того пьян "слишком достаточно": я не дам ему ни глотка из своей четвертинки; что же касается денег, то их у меня нет совершенно... - Ты же еще мне... сыннок!.. Ты еще... под стол ходил пешком... а я уже дддесять рраз человеком был... Ммалых ребят видел... И больших видел... тоже... А теперь - что? - умирать, что ли мне хочется? Обязан я что ли умирать?.. Расстегнул телогрейку, обнажил мохнатое туловище. - Видишь!.. Везде горит... огнем горит... А на что мне рубашка? Взял - и пропил... Пиджак тоже - как будто задаром... пропил... Как у русского народа... что выпито и проебено... то в дело произведено! Хе-хе-хе... Все за мозоли покупаем... а продаем - даром... В носках теперь идти... Ттак? Нагнулся, придерживаясь за мою куртку,

стал снимать грязные носки. Встретив мою улыбку, тоже улыбнулся. - Малый! Мы... с тобой пили... а ты хороший малый! Тебя... девки целуют... Так всегда и надо делать!.. А мне... босиком теперь... дойду до кольца... буду все покупать... все, что лежит, все буду покупать... а телогрейку продам... Голый пойду... Прическу себе сделаю... Снял носки: босой, опустил на землю. - купишь, а?.. В ней же цена не за то... что дорогая... Мне она нужна... Никому не продам... Голый пойду... От самой Москвы в ней прошел... А жены у меня нет... Теперь уже все равно - рубашку продал, ботинки продал... А телогрейку - нниккому не дам! Это своя, русская... купишь, а? Заерзал под ногами, схватился за мою руку. - За один плоток, а? Носки отдам... Это они грязные, потому что темно... А были... хорошие, полоски везде... А?.. Не хочешь, значит?.. И телогрейки не хочешь... Душу-то нельзя продавать, душа у меня... как русский герой... а продавать нельзя... Телогрейку - можно... Вероятно, вспомнив, что у меня в кармане четвертинка, неуклюже поднялся, стал на колени, обеими руками ухватился за карман. - Сынок... Я же не пожалею ничего... Отдам... Телогрейку отдам... Что еще у меня... нничего больше... Вечное тебе спасение будет... По-божески все будет... Ты же такой хороший... сынок... По-божески... Пришлось вынуть четвертинку и заложить за спину. - Ммилый, я же не хочу... Мне... можно не прятать... Один раз... я же понимаю... человеческие чувства... Ведь я... Я же не требую... Мне как другу... А никакой водки мне не надо... я и так... Водка везде есть... а чтобы душа горела... выпить надо... А телогрейку... тоже надо... ее одеколоном немного... помочить... и будет как... в хороших людях. Я - что? Я - не хороший? Тогда плюй мне в рожу!.. Ну? Я - что? Не человек?! Тогда бей... Бей, и все... Ебать всех в ррот в таком случае... Бей... жалеть не надо... Я все, что надо... А сто грамм - за советскую рродину, за службу... Стало жутко. Всплыли на поверхность скверные желания... Помутился рассудок... Ровно в час ночи я выбросил ему четвертинку.

21 мая

Помню, как в тумане... Было жарко и хорошо... И когда вспоминаю, снова становится жарко... А она даже и не заметила.

22 мая

- Зачем бьешь?! Это беззаконие! - Никто и не бьет! Слепой, что ли? - Э-э-эх, надрызгалась, старая ведьма, ее и сапогом не разбудишь!.. До чего же все-таки доходят... -

Добро бы мужик какой-нибудь, а то ведь женщина! старая! И откуда только такие берутся?! - А ведь сидела еще, денег просила... Какие только дураки ей давали?! - И не стыдно ей, суке старой... - Детей-то, наверно, нет... А то б постыдилась... этак-то... - Да что ты ее, сынок, подымаешь-то - как? За голову... да сапогом!.. Руками бы уж, что ли? - Возьме-о-ошь такую руками! поды-ымешь! Заблеванная вся... - Как ведь скотина какая-нибудь... Да скотина-то чище... Люди-то хуже скотов стали! - И не говори... - Ляжет такая в сестиваль\*, так все дело и испортит... Позор да и только! \* "28 июля - 11 августа 1957 года в Москве состоялся Шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Советские юноши и девушки задолго до начала форума готовились достойно встретить посланцев юности, дружбы, мира - зарубежных гостей 140 стран". (Из газет.) - Ну, уж в фестиваль - так долго чикаться не будут... Это-то еще ничего, видишь, как он ее удобно, - сапожком за живот и перевертывает... - И чего пьют, спрашивается?.. Чего пьют? - Какой ччорт там - "переживает"! Какого это ей хрена "переживать"? А если переживаешь, так переживай, как все культурные люди... - Чем это она недовольна, интересно?! Надрызгалась - вот и все.

25 мая

Ерофеев! Вы плохо кончите! Вам, наверное, и во сне снится, что вам стреляют в затылок! Ерофеев! Вы некультурный человек! Посмотрите на нашу молодежь! Разве кто-нибудь, кроме вас, в общежитии ходит в дырявых тапках? Ерофеев! А вы, оказывается, хорошо стряпаете стихи! Вы о чем пишете - о природе или о девушках? Ерофеев! За что вы ненавидите женщин? Женщин надо любить! На то у них и пизда! Венедикт! Почему тебе все - смешно? Венедикт! Ты хоть свою родную мать не называй сволочью! Ерофеев! Вы

рассуждаете обо всем, как трехлетний ребенок! У всех людей в голове мозг, а у вас... У вас - "олимпийское спокойствие", Венедикт!

27 мая

Я люблю совершать благородные поступки, это моя слабость. Благодарение Богу, мне еще не представлялось подходящего случая. Иначе мне пришлось бы хвастаться перед ними, что я совершал их. А я вот представил себе, что сегодня утром я был благороден... А представить гораздо труднее, чем совершить в действительности. Может, я и в действительности совершал то, что мне представлялось, - ну, да ведь над благородством не смеются. А над моими действиями-таки смеялись, хоть, может быть, мне это просто казалось. А казалось бы - над чем смеяться? Это даже своего рода долг - одернуть заблудшую женщину. Я лично ничего не имею против того, чтобы женщина являлась в общество с расстегнутой ширинкой, это, напротив, представляется мне явлением благоуханным... Но если эта же женщина пытается убедить собравшихся в том, что обозначенное явлением благоуханным - плод общественно-разгулявшегося воображения, здесь уж поневоле приходится прибегать к крайним мерам. В этот миг я походил на Демосфена, я выражал сквозь зубы интересы большинства. Я это чувствовал, - толпа с удовольствием скандировала лейтмотив моей речи: "По зубам ее, стерву... По зубам..." Но бить ее не решались - разве же можно без опасения даже приблизиться к балтийскому матросу. Значит, я ошибался, принимая его за столетнюю женщину. Мне просто казалось... По утрам меня интересует только кажущееся... Мы раскланялись... Он отрекомендовался мне "апологетом" человеческого бесстыдства, он не фантазирует по утрам... С недавнего времени он всеми признанный порт пяти морей и крупнейший железнодорожный узел... Он падает на землю и дергается... Ну конечно, он сумасшедший, это все понимают... Если он в бреду даже речь мою называет неблагородной, то какие же могут быть сомнения... Он сам это хорошо понимает, он видит, что по утрам все смеются над ним... Бедный помешанный... Он оскорблял меня...

28 мая

"Сыннок... ты меня обижаешь... я тебе подношу, как брату кровному... Как сыну своему подношу... А ты даже от своего... кровного... не хочешь принять... Ты думаешь, я тебя просто напоить хочу... Чтобы ты напился да извиняться стал... Скверные, значит, у тебя... мысли... если ты так думаешь... Не за что передо мной извиняться... Я ссам, если хочешь... извиниться могу... что в воскресенье ругаться с тобой хотел... Если б не баба, мы бы с тобой поругались... по-хорошему... Она тебя любит, моя баба... Все хочет, чтобы ты ей стихи писал... А от меня, проститутка, стихов не дождет... я уже дураком давно не был... Муж, значит муж... Расписаны - и все, никаких стихов... Прихожу в любое время... Если дает - ебу... Нет - уйду к ебаной матери... Как будто у меня других блядей нет... Ты думаешь, я с одной ногой - так и блядей не найду... Блядей я всегда найду, еби только, успевай... А ты - э-э-эх! - к бабе моей прилепился, стихи ей пишешь... Ппоэт... девятнадцатого века... Хе-хе-хе... Наверное, любишь, когда она перед тобой заголяется... Все это она хочет, чтобы ее молоденький лизал со всех сторон... Так жопой и завертит... от удовольствия... Да ты не обижайся... Она хорошая баба... Она тебя не обидит... всегда, что надо, поесть сготовит... Ты как сын у нее, на всем готовом, только пои ее больше... Она, когда немножко выпьет, так сама бросается на шею, плачет... Так прямо и ложится под тебя... Э-ох-хо-хо-хо! Люблю я тебя, паренек, так бы вот прямо взял и расцеловал... А? Хе-хе-хе-хе... Поэт! Настоящий поэт!.. Не знаменитый, ну - ничего... ничего... Выпей еще грамм сто... вот уже и знаменитый... Пьяному море, как говорится, по самые пятки... Сейчас вот допью - пойду по блядам... Первым делом - к бабе пойду... Если дойдет дело до того, что выгонять будет... угроблю на месте... В прошлое воскресенье тоже пришел навеселе... Хорошо, что еще успела дверь закрыть... а то было бы дело... я уж сколько раз из-за нее на пятнадцать суток садился... Все ей грозил, проститутке - погоди! отсижу, приду, места мокрого не оставлю... Не все ли равно, за что сидеть... А все жалею... Как посмотрю на нее, что она плачет... сразу жалею..." А. М. 28/V - 57 г.

29 мая

Главное - хранить полнейшее спокойствие и заблудших отвести от самоубийства. Сначала попробовать убедить: нет ничего безвыходного... Если не поможет - напиться, успокоить материально... А "желанный" пояс окропить святой водой...

30 мая

Милые вы мои! Да ведь я точно такой же! Помните? - когда похолодало двадцатого марта, ведь я и закрывался рукой от ветра, отворачивался, хотел, чтобы теплее было! А потом прятался под одеяло, согревал руки, и, когда жаловались на холод, говорил, стиснув зубы: "Это хорошо... Мне нравится, когда так... бывает". Говорил совершенно серьезно - и жался к теплому радиатору! Ругался, когда кто-нибудь открывал дверь и озябшим голосом просил папиросу! Теперь немного теплее. И все равно говорят озябшими голосами, вздрагивают у проходной, а на холодные радиаторы смотрят угрюмо, наверное, считают их виноватыми. Мне тоже холодно. Я тоже вздрагиваю. Им не нравится холод. А мне - ...

31 мая

Ну, как это можно лежать в гробу? Так вот просто и лежать? Хоть бы покрыли чем... А то ведь я выдать себя могу. Нечаянно дрогнет рука или... еще что-нибудь. Хорошо это лежать мертвому, ему и не стыдно, что он лежит. Да и рука у него не дрогнет... или еще что-нибудь. А меня вроде как будто на смех положили. Положили и ждут, когда я разоблачу себя... Пошевелюсь или вздохну... И глаза открыть нельзя... Откроешь - а они все стоят и на тебя смотрят... Мертвому, например, все позволяет... Мертвый может и с открытыми глазами лежать. Все равно не увидит никого... Ему кажется, наверное, что и на него никто не смотрит... Потому и не стыдно ему... И закрыть глаза - может... Даже полагается, чтобы мертвый в гробу все время глаза закрывал... "Граждане! Если я посмотрю на вас - вы смеяться не будете?.. А?.." Странно, почему все молчат... Думают, наверное, что я и в самом деле мертвый, а просто из себя строю этакое... разговорчивого... Как будто это очень мне интересно - откидывать перед ними коленца да потешать их... "Граждане! А я все-таки открою! И глядеть на вас буду!.. Вам это даже интересно будет. Мертвый, а глядит... Хи-хи... В платочки будете фыркать. А потом пойдете и будете всем рассказывать: "Мертвый, а глядит..." Ну, а теперь они и подавно будут говорить, что я умер: открыл глаза, а ничего не вижу. Совсем не так, как в темноте. Если в темноте приглядеться, так сначала увидишь просто контуры... А потом и самые лица разглядишь... Узнаешь тех, кого видел раньше... Моргнешь им или лягнешь ногой... А ведь здесь не только контуров - самой темноты... Самой темноты не видно. Бывает, что человек проснулся, открыл глаза - а не видит... Но ведь это во сне так бывает... А ведь я и не думаю спать. Я же знаю, что на меня смотрят... "Граждане! А что, если я на другой бок повернусь?.. И вообще - буду поворачиваться, песни революционные петь, кричать буду?.. Вы ведь тогда отвернетесь?.. Да?" Смеются... Это они, наверное, над "революционными песнями" смеются... Зря я это сказал... Мне даже самому неловко. Нужно им было что-нибудь поумнее сказать, чтобы подумали: "Умный, а ведь в гробу лежит. Стало быть, умер". А ведь это очень трудно. Лежать в гробу, чувствовать, что ты ослеп, - и умное говорить. Это очень трудно. "Упокой, господи, душу новопреставленного раба твоего!.. Граждане! Вы не думайте, что я верую в бородатого бога! Бог всюду сущий и единый!.." Вот, мол, какой я умный. "А все, что я говорил до сих пор, - вы тому не верьте. Все по незнанию, по недомыслию... Потому что непривычно мне здесь... В воздухе как будто кухонный запах. И смотрят все. Смотрят, а не говорят ничего. Страшно..." Да мне и действительно страшно. "Граждане! Если среди вас есть хоть один слепой - он поймет меня. Я ужасно люблю слепых! Я еще в детстве хотел, чтобы все были слепые, чтобы у всех были сомкнутые веки... А если у кого-нибудь глазное яблоко раздвинет веки, так это считать злокачественной опухолью, помочь ему..." Фу, какую я глупость сказал!.. Я даже чувствую, что начинаю краснеть. Странная у меня привычка! Когда я начинаю краснеть, то краснею все больше и больше. И уже никакой хладнокровности себя остановить не умею... Хоть бы покрыли чем... А то ведь могут подумать: "Притворщик, мертвые не краснеют". Ну, хоть бы саваном, что ли... "Граждане!

Вы бы уж покрыли меня, а то ведь я покраснел... так вы увидеть можете". А под саваном и чихать позволяется. "Так уж лучше не видеть меня... Со святыми упоко-о-ой..."

7 июня

"Мать Божия!" "Девственница Мария!" "Богородица пресвятая!" "Заступница-матушка!" Триумвиров не нужно! Ниспосли мне, что ниспосылала! Убавь еще немного!

8 июня

Если вас отгесняют на исхоженный тротуар, держитесь правой стороны. Если вы просветляетесь в мыслях - засоряйте свой разум. Если вы чувствуете непреодолимую симпатию к находящейся в пределах земного вещи, уничтожьте ее. Если это деньги - сожгите их. Если это человек - толкните его под трамвай. Если это дама - привяжите ее к стене и вбейте ей клин. Убедите себя, что отвращение - самое естественное отношение к предмету и что на поверхности вашей планеты не должно быть ничего, к чему бы вы чувствовали влечение. Убедите себя, что гораздо благороднее - мыслить представлениями об уже не существующем. Если же стечение обстоятельств отрекомендуется вам Роковым для вас самих и вынудит вас покинуть земное, - уходите спокойно, с ясностью во взоре и в мыслях. Уходя, гасите свет.

9 июня

Наверное, завтра меня свезут в сумасшедший дом... Все равно она ласковая... И у нее красивая грудь... Пшеницына тоже была такая... Обломову нравились локти... Он всегда смотрел на нее... Это помогает...

10 июня

"Э-э-эх, Венька, Венька! Хоть мне и горько признаться, а я в тебя потерял всякую веру. В марте я просто-таки тобой восторгался, ожидал, что из тебя получится чуть ли не великий человек... В апреле как-то равнодушно к тебе относился, но все-таки надежды не терял... А теперь... вообще махнул на тебя рукой... Гиблый ты человек, конченный... Я думал, ты бросишь пить, а оказалось наоборот... Ты еще больше пьешь... Да и обстановка здесь дикая, на тебя влияет... Ты же здесь просто задыхаешься, Венька! И зачем только ты от нас ушел... Вспомни-ка, как было все хорошо... весело... Тебе, наверное, сейчас кажется, что ты выбился куда-то в сторону и остановился на месте, а все остальные живут... им по-прежнему хорошо... А ты все катишься вниз. Не знаю, когда же будет предел. Э-э-эх, Венька, Венька! Сколько раз я тебе говорил, еще и в прошлом году: опомнись, Венька, опомнись! - ты все смеялся. А теперь уже поздно". Валерий С. 10/VI-57 г.

Дневник

11 июня - 16 ноября 1957 г.

Записки психопата. V (окончание)

11 июня

Меня похоронили на Ваганьковском кладбище. И теперь я тщетно пытаюсь припомнить мелодию похоронного марша, которая проводила меня в землю. Иногда мне кажется, будто марша и не было, и сопровождавшие гроб двигались неохотно, поминутно оборачивались, словно ожидали, что откуда-то сзади с минуты на минуту раздадутся рыдающие оркестровые звуки... И не дождавшись, отступали, расходились... Я был слишком мертв, чтобы выразить к этому отношение. Отчего-то думалось, что равнодушие к удаляющемуся гробу было следствием тягостной, непрекращающейся тишины. До сих пор всем им движение времени представлялось как движение вечных, сменяющих друг друга мелодий. А теперь... Тишина словно оглушила сопровождавших. И самому мне казалось, будто гроб остановился вместе с временем. Остановился и тяжестью всеобщей пустоты "захватил" мне дыхание... Стало душно... А сверху на крышку гроба что-то падало... сыпалось через щель между досками... не нарушая тишины... Я словно чувствовал шуршание песка и ритмические удары по кровле моего последнего приюта. И - может быть, это была просто фантазия оглушенного человека, - но скупые и однообразные звуки преобразались для меня в дивную мелодию. Может, те, что стояли наверху, не слышали ее, хотя сами и извлекали ее из тишины... но для человека, у которого каждое

психологическое состояние сопровождалось и выражалось внутренней музыкой, любое нарушение душевной тишины может казаться музыкальным аккордом... тем более, что тишина для него вечна... И у него даже отнята способность вспоминать, хотя воспоминания должны были бы стать единственным его уделом... Несправедливость эта меня не тревожила. Я напрягал свои чувства, вслушивался, словно бы я и не потерял способности вслушиваться во что-нибудь, кроме своей глухоты... Я знал, что это не стук и не шелест песка... а самая удивительная из всех мелодий - тишина... Но я уже ничего не слышал.

14 июня

Ну, какая может быть скорбь?.. Если даже я и "скорблю", предположим, так не должен же я путем выражения той же самой "скорби" хвастаться своей полнотой душевной! Заметьте - я совершенно нормальный! Но величайшее удовольствие для меня жалость по поводу того, что былое "не будет". И если скорбь доставляет мне удовольствие, почему же я должен видеть плохое в смерти своих близких? "Скорбеть" по умершему для меня значит просто жалеть о том, что жизнь человека, смертью доставившего мне "скорбную радость", оборвалась этой же самой смертью. Стало быть, я жалею только о том, что мне приходится жалеть. Я сам вызываю жалость - и если бы я не черпал в ней наслаждение, она была бы мне не нужна, и, следовательно, ее не было бы. "Скорбящий" по поводу смерти кого бы то ни было, я гораздо более жалею себя, чем умершего. Я разговаривал с покойником, слышал, видел его; мои восприятия, им заполненные, - часть моего существования. Потому в смерти его я вижу утрату собственную. Смерть человека постороннего точно так же может вызвать сожаление - но будет искренним оно только в том случае, если жалеющий "встанет в положение" умирающего или осиротелых чадушек его. Стало быть, единственным объектом моей жалости могу быть только я сам. Смерть человека, тем более близкого мне, - лишний предлог для того, чтобы доставить себе радость слезной жалостью к самому себе. Еще раз заметьте - я совершенно нормальный! Но для чего я на людях буду выражать свою жалость, если это будет восприниматься просто как хвастовство тем, что я позволяю себе слишком много удовольствий!

16 июня

"Капризная Туче\*" слишком ко мне благосклонна, в том смысле хотя бы, что никогда не оставляет меня. \*Туче - божество случая в греческой мифологии. Игривость ее заходит иногда слишком далеко. Мне посчастливилось, например, уйти из университета вовремя только потому, что книжные ларьки в г. Кировске в 3 часа пополудни закрываются на обеденный перерыв. Совершенно без преувеличения. Больше того - если бы они, эти ларьки, закрывались бы по пятницам на замок, мне никогда бы не пришлось даже покидать Хибинские горы. 30 апреля прошлого года не считается днем моей безвременной кончины только потому, что красный уголок черемушкинского общежития был этим вечером в запустении. Был же он в запустении в силу того обстоятельства, что буфет пополнился в тот день двумя ящиками первоклассных сарделек. Обстоятельство, внешне прозаическое, избавило меня от траго-романтической смерти. Но с тех пор, в минуты крайнего пессимизма, острие моего негодования направляется на расторопность всех без исключения буфетчиц, виновных в продолжении моего тягостного существования. Это еще не все. Если бы утром 3-го мая прошлого года в программу радио-концерта была бы внесена одна маленькая поправка, мне пришлось бы краснеть вплоть до февраля нынешнего года. Если бы в феврале был более лукав бухгалтер нашего треста, мне понадобилось бы в тот же день лечь, не раздеваясь. Мало того - отец мой скончался именно в июне только потому, что Шаболовка не залита асфальтом. Как это ни фантастично - но это действительно так. И если бы стромыньские туалеты были расположены не в местах общественного просмотра газет - у меня никогда не хватило бы духу начинать свои "Записки" и, следовательно, жаловаться на капризы могущественной богини случая! Что уж там наполеоновский насморк! 17 июня Удивительный человек. Бездарь. Гений. Оригинал. Слишком мрачный человек. Самый веселый из всех людей.

Поэт. Чудак. Скрытный человек. Лодырь. Слишком длинноязыкий. Обломов. Страшно трудолюбивый. Самый непонятный человек. Хулиган. Тихоня. Политический преступник.

Книжный червь. Анархист. Идиот. Философ. Пьяница. Младенец. Дубина. Студент прохладной жизни. Человек, который не смеется. Вертопрах. Весельчак. Сволочь. Душа-человек. Прекратите гнилую демагогию. Вот кого надо перевоспитывать. Ужасно интересный тип. Вы будете замещать воспитателя. Я хочу быть твоим товарищем. Черт знает, что у тебя на уме. Давайте, будем друзьями. Я буду твоим комсомольским шефом.

Темный человек. Будем знакомы. С тобой интересно разговаривать, у меня теперь все мысли переворачиваются вверх дном. И прочее. И прочее. И прочее.

25 июня

Валерий Савельев - со всеми существующими жанрами танцевальной музыки. Лидия Ворошнина - с "Половецким хором" Бородина. Владимир Муравьев - с "Поэмой экстаза" Скрябина. Владимир Бридкин - с куплетами и серенадой Мефистофеля. Ниния Ерофеева - с "Цыганской песней" Верстовского. Антонина Музыкантова - с Равелем и 1-ой частью 1-ой симфонии Калинникова. Тамария Ерофеева - с романсом Листа "Как дух Лауры..." и пр. Борис Ерофеев - популярные советские песни. Александра Мартынова - "Интермеццо" Чайковского. Все остальные - с песенками Лоубаловой.

Июль

Я начинаю злиться. - Господа, разве ж вы не видите, что он больной? - Вы, молодой человек, не вмешивайтесь. - Ах, господа, я вмешиваюсь не потому, что мне доставляет удовольствие с вами разговаривать. - Ну, так и... - И все-таки мне бы очень хотелось, чтобы вы оставили его в покое и удалились. Они пожимают плечами: странный человек... он сам напрашивается... - А все-таки интересно, где же это вы научились такому обращению? - Не знаю... По крайней мере, меня интересует другое - чем этот бедный Юрик заслужил такую немилость? - Все очень просто, молодой человек, - он целый год не плотит за комнату, а мы не имеем права держать в общежитии таких, которые по целому году не плотят! - Все это очень хорошо, господа, но вы поймите, что этому человеку платить совершенно нечем. - Нас это не касается, мы предупреждали его полгода, но он все-таки никак не хочет... - Как то есть - "предупреждали"? Сколько бы вы его ни предупреждали, от этого работоспособность к нему не вернулась. Поймите, что он болен, и бюллетень ему не оплачивают, потому что до болезни он проработал меньше года. Он уже целый год питается только черным хлебом, а вы не забывайте, что этот мальчик - туберкулезный больной, которому строго наказано соблюдать диету. Они смеются... они не желают меня понимать... Взгляды их выражают снисхождение к моей глупости. - Родные у него есть, они ему помогают, значит, и уплатить могут... - У него всего-навсего один брат... - Но ведь он ему помогает... - Он высылает ему по сотне в месяц, он сам получает 600 рублей и на них содержит семью... - Молодой человек, вы, наверно, думаете, что мы сюда пришли разводить с вами философию... В ваших вон этих книжках, может, написано, что это и плохо... а надо видеть не только книжки, но и понимать... А то вы здесь, наверно, и капитализм скоро будете защищать... - Милые люди, я не собираюсь защищать капитализм, речь идет всего-навсего о защите Юрика, а он так же далек от капитализма, как вы, извиняюсь, от гениальности... Они снова не понимают меня и смотрят на меня вопросительно-весело... Они ужасно любят шутов, им нравится, когда их развлекают... А то ведь жизнь вещь скучная... работа в бухгалтерии... жена, дети... сливочное масло... зевота... А тут - есть над чем посмеяться, блеснуть былой образованностью... - Вы, молодой человек, никогда не интересовались, как я вижу, постановлением Московского Совета... - Совершенно верно, я не интересуюсь ни постановлениями Московского Совета, ни женскими календарями, ни... - Вот тогда бы вы поняли, наверно, что ваша философия совсем здесь не у места. Савостьянов, одевайтесь и собирайте свои вещи... - Юрик, лежи спокойно... Вспоминается Абрамов... Сейфутдинов наклоняется к ногам его и подбирает свои рукавицы... на лице его - жалкая улыбочка, словно бы ему и улыбаться стыдно... Абрамов пододвигает ему рукавицы ногой... Ему

очень хорошо... Он испытывает физическое наслаждение, близкое к половому... еще бы только ударить ножкой по сейфутдиновской физиономии... Юрик встает, силится сдержать слезы... Он совершенно неграмотный... он улыбается... - Ну-с, господа, теперь я уверен, что вот этот графин "встанет на защиту человеческой гуманности". - Как вы сказали?... - Я ничего не сказал, у меня просто есть желание наглядно, так сказать, продемонстрировать достижения нашей стекольной промышленности. В дверях негодуует толпа... Старушки вздыхают: "Куда ж он пойдет...", "Больной же...", тупая молодежь смотрит на меня весело... они, как и конторские служащие, любят разнообразие... А то ведь, опять же, - скучно... - Вам вредно пить, молодой человек, и рассуждать вам рано еще... а то ведь мы с вами и без милиции справимся... - Даже? - Представьте себе. Вы думаете, что, если мы работники умственного труда, так у нас нет и кулаков... - Да, но ведь кулаки есть не только у работников, с позволения сказать, умственного труда... - Значит, вы хотите с нами драться... так, что ли?... - Не знаю... мне почему-то кажется, что хочет драться тот, кто первый напоминает о существовании своих кулаков... Теперь они хорошо меня понимают... И даже тугая на соображение толпа мне симпатизирует... Это хорошо... - А вы остроумный... вам бы только в армию идти на перевоспитание... У меня в полку и не такие хулиганы были, а выходили шелковые... - Да... но тем не менее Юрик останется здесь... - Юрик, может быть, здесь и останется на ночь, а мы с вами пройдемся... - Ах, господа, если бы вы знали, как мне надоело уже эти субъекты в мундирах цвета грозового неба... - Вам, может, и Советская Власть надоела? Пройдемте, пройдемте... Времени у меня очень много... - А у меня ровно столько же - терпения.

Всегда пожалуйста.

6 августа

"Я взглянул окрест себя..." "...и, потирая руки, засмеялся, довольный".

9 августа

Лексические эксперименты Мартыновой заслуживают самого пристального внимания.

Тем более, что от способа выражения нежных чувств зависело разрешение актуальнейшего вопроса: "кому из трех быть фаворитом?" Приводим "образцы" всех трех.

1. "Здравствуй, милая Сашенька! Я пишу Вам письмо с большого расстояния, и оно еще раз вам напомнит мои слова о том, что любовь убивает неразделенность, а не расстояние.

Вы, наверное, понимаете, Сашенька, что я имею в своем виду. Теперь, когда Вы так "далеко от Москвы", я еще больше, поверьте мне, думаю о Вас, как Вы были на моих именинах в своем цветном платке, и косы были у Вас тогда, как у девушки, и тогда снова бьется мое сердце и обливается кровью за Вас. Ведь без Вас я как будто без сердца и без души. Я еще не стар, милая Сашенька, и моя любовь, которую, быть может, Вы отвергнете, ждет Вашего ласкового слова. Вашего чувства ко мне я не могу предугадывать, а Вам мое, без сомнения, хорошо понятно. И когда я в тяжелой разлуке, не слышу Вашего милого голоса, я тревожусь за судьбу своей любви, быть может, последней. По всей вероятности, и Вы тоже тревожитесь за нее, но предугадывать я не могу, и в заключение шлю вам прощальный привет в надежде получить от Вас желанный ответ. До свидания. Твой раб Александр Коростин".

2. "Любимая Саша! Итак, прощай, все кончено меж нами, любить тебя я больше не могу, любовь свою я заглушу слезами, за счастье прошлое страданьем отомщу. Я быть твоей игрушкой не желаю, прошу тебя, ты слышишь, только тебя об этом как друга умоляю, не вспоминай меня ни насмешкой, ни добром. Я ведь не заслужил твоих насмешек, не знаю, чем мог тебя я огорчить, я признаюсь, что раньше я любил Вас, ну, а теперь приходится забыть. Итак, прости, нам нужно расстаться, причины не ищи, так, видно, нам судьба, но время прошлого останется друзьями, мы расстались, но это не беда. Быть может, я страдать и плакать буду, я, может быть, ошибся глубоко, пройдут года, и я тебя забуду, забудь и ты меня и лучше не пиши. Итак, прощай. Предмет твоих насмешек, а может быть, любви - Коля С."

3. "Уважаемая А. М.! Спешу принести вам тысячу поздравлений в связи с тем, что в последнем вашем письме кол-во грамматических ошибок уменьшилось втрое. Осмелюсь далее заявить, что мое пламенное

послание займет не больше, как страницу, ибо соревноваться с вами в объеме (я имею в виду объем письма) признаю себя бессильным. Позволю себе попутно сообщить, что ваш отъезд вверх всю мужскую половину 4-ого Лесного переуллка в состояние нежной меланхолии, меланхолического томления, томительной нежности, томительной меланхолии, меланхолической нежности etc., etc. Остроумный ваш супруг наедине со мной не раз вариировал эту тему в таких красках, что даже вы, А. М., внимая "им", покраснели бы (опять же - имеется в виду ваша всегдашняя бледность). И вообще, смею вас заверить, супруг ваш гораздо более достоин той груды ласкательных эпитетов, которыми вы в последнем своем письме совершенно некстати меня наградили. В довершение позволю себе наглость пасть перед вами ниц и пр. и пр. Имею честь пребыть:

Венед. Ер."

22 августа

Лежа в постели, выкурить 2 папиросы и поразмыслить одновременно, достойна ли протекшая ночь занесения в отроческие мои "Записки". Если все-таки достойна - выкурить третью папиросу. Затем подняться с постели и послать заходящему солнцу воздушный поцелуй; дожидаться ответного выражения чувств и, если такового не последует, выкурить четвертую папиросу. С наступлением сумерек позволить себе легкий завтрак: 500 г жигулевского пива, 250 г черного хлеба и 2 папиросы (по пятницам: 250 г водки, литр пива и, добавочно к хлебу, рыбный деликатес). В продолжение завтрака следить за потемнением неба, размышлять о формах правления, дышать равномерно. Последующие три часа затратить на усвоение иностранного языка, в перерывах - стричь ногти, по одному ногтю в каждый перерыв. По окончании занятий повернуться лицом к северо-западу и несколько раз улыбнуться. Выпить 500 г пива, лечь в постель; лежать полчаса с закрытыми глазами (по пятницам один глаз допускается приоткрыть). Думать при этом о судьбах какой-нибудь нации, например, испанской, и находить в современной жизни ее - симптомы упадка. Встав с постели - пройтись по засыпающей столице; каждой встречной блондинке говорить "спасибо" и стараться при этом удержать слезы; на поворотах икать и думать о ничтожном: о запахе рыбных консервов, о тщеславии Карла IX, о вирусном гриппе, о невмешательстве и т. д. Одним словом, казаться на людях человеком корректным и при грудных младенцах не сморкаться. Придя домой, позволить себе до полуночи умственный отдых и скромный обед: 500 г пива и 450 г жареных макарон (по пятницам - 150 г водки, 500 г пива и, добавочно к макаронам, рыбный деликатес). Закончив обед, пожалеть кого-нибудь и внимательно на что-нибудь посмотреть. Четыре послеобеденных часа заполнить литературным творчеством и систематизированием человеческих знаний. По возможности воздерживаться от собственных мнений, которые мешают нормальному протеканию пищеварительного процесса. Ночные занятия сопровождать умыванием и закончить элегическим возгласом, вроде: "Какие вы все голубенькие!" или просто: "Маминька!" Наступление рассвета встречать обязательно разутым, чисто вымытым и лежащим на полу. Так, чтобы первые утренние лучи падали под углом 45 градусов к плоскости моего затылка. Поднявшись затем, отряхнуться и послать восходящему солнцу воздушный поцелуй (по пятницам - добавочно к поцелую, рыбный деликатес). Не дожидаясь выражения ответных чувств, углубиться в дебри своего мировоззрения, подвергнуть тщательному анализу свои отношения ко всем нравственным категориям: от стыдливости до насморка включительно. Затем обуться и выйти к ужину. Ужин должен быть строго диетическим, и выходить к нему необходимо в нагрудной салфеточке и с ваткой в ушах. Ужин - своеобразная кульминация суточного режима, поэтому в продолжение его следует держаться правил приличия: смотреть на все с пронизательностью и живот не чесывать. Закончив ужин, вынуть ваточку из ушей и тщательно проутюжить салфеточку (по пятницам ваточку из ушей следует вынимать при потушенном свете). Приготовления ко сну начинать непосредственно после ужина. Встав навтыжку перед постелью, пропеть тоненьким голосом моцартовскую колыбельную, - и уже после этого раздеваться. Ложиться следует

так, чтобы затылок, ноги, живот и нервная система были вверху, а все остальное внизу (по пятницам ноги должны быть внизу). Засыпая, воздерживаться от размышлений и от будущих сновидений ожидать достоинства.

25 августа

"Почтим, - говорю, - мою память вставанием..." А сам плачу; стою, руки опустив, и плачу... "На кого же я меня покинул", - говорю; а потом поправляю себя с улыбкой: "Не меня, а себя... покинул..." И так хорошо улыбаюсь, слезы по лицу размазываю... и шепчу, уже просветленный... "Царствие мне небесное!..."

Сентябрь

Речь К. Кузнецова на открытии театрального сезона в "Обществе любителей нравственного прогресса". "Господа! (Аплодисменты). Каждый из нас по-разному понимает те задачи, которыми мы должны руководствоваться в нашей деятельности. Нужно помнить, что наша основная задача - свести все эти задачи к одному - к борьбе. Но какая это борьба, господа? Все мы непрерывно боремся: утром - с зевотой, днем - с бюрократизмом и вспышками преждевременной страсти, вечером и ночью соответственно с отчаянием и половым бессилием. (Аплодисменты, возгласы: "Наверно, у Венедикта содрал!"). В Америке происходит борьба за существование, в России - борьба за сосуществование. (Аплодисменты). Но главная борьба в наше время - это борьба за нравственное возрождение человечества! Почему в наше время каждый второй мужчина - алкоголик? Почему в больнице Кащенко не хватает коек для сумасшедших? Почему призывники 35 года\* полегли тысячами в Венгрии? За что в наших ребятам-призывникам бросают камни в освобожденных странах? Разве мы, молодежь, виновата?

(Аплодисменты). В таком случае долой тишину и все это гробовое спокойствие! Мы - защитники нравственного прогресса! Наша главная задача на первом этапе - бить стекла!

(Бурные аплодисменты). Срывать всякие вывески, вроде "Соблюдайте чистоту" и так далее! Наша вторая задача - устраивать шум и бардак - везде, где требуется тишина! Мы должны гордиться тем, что мы пушечное мясо! Нам никто не посмеет затыкать рот!

(Аплодисменты). Нас пока четверо! Почетный член нашего общества - Венедикт!

(Аплодисменты). Это, значит, уже пять! Будет еще больше! Мы - не хулиганы! Мы - революционеры! (Бурные аплодисменты, возгласы: "Сте-о-окла-а!")". \*1935 года рождения.

1 октября

По мере приближения к острову я все более и более удивлялся. Я опасался быть оглушенным хлопаньем миллионов крыльев и разноголосым хором миллиардов птичьих голосов, - а меня встречала убийственная тишина, которая и радовала меня, и будила во мне горькие разочарования. Ну, посудите сами: вступать на берега "Птичьего острова" и не слышать соловьиного пения! - это невыносимо для просвещенного человека. Тем более, что в продолжение всей церемонии "встречи" и на пути следования от аэродрома к отведенной вам резиденции вы поневоле вынуждены скрывать в себе свое разочарование и интернационально улыбаться. Впрочем, любезная обходительность встретившего меня пингвина избавила меня от неискренности. А обращенные ко мне взгляды попугаев, до нежности снисходительные и до трогательности нежные, заставили меня улыбаться с совершенной естественностью. Я был настолько растроган, что даже приветственная речь пингвина, затянувшаяся, по меньшей мере, на час, не показалась мне чрезмерно длинной. К тому же она несколько обогатила мои знания в области истории "Птичьего острова". К крайнему моему удивлению, я узнал, что Горный Орел отнюдь не был родоначальником царствующей фамилии - он был всего-навсего последователем Удада. Однако деятельность Удада не заключала в себе ничего из ряда вон выходящего; да и скончался он в непогожую пору - одни лишь зяблики да снигири мрачно шествовали за гробом к заснеженному кладбищу. И только тогда-то, в дни "безутешного траура", освобожденные пернатые впервые почувствовали на своих головах освежающее прикосновение орлиных когтей. Нет, он тогда еще не был страшен, этот Горный Орел. Чувствовалось, что в его

величественной птичьей голове еще только "гнездились" смелые замыслы, в его клетке еще не слышно было угрожающих нот, - но орлиные очи его уже в ту пору не предвещали царству пернатых ничего доброго. И действительно - не прошло и года, как начался культурный переворот, который прежде всего коснулся области философской мысли "Птичьего острова". Уже издавна повелось в мире пернатых, что всякий, имеющий крылья, волен излагать основы своего мировоззрения в соответствии с объемом зоба и интеллектуальности. Вороны беспрепятственно карр-кали. Декадентствующие кукушки элегически ку-ковали. А склонные к эклектизму петушки ку-карр-екали. И в этом не было ничего удивительного. Даже выражение крайнего пессимизма считалось явлением вполне легальным. Так, еще в годы царствования двуглавых орлов одна из водоплавающих птиц перефразировала известное человеческое выражение, и с тех пор поговорка "Птица создана для счастья, как человек для полета" стала ходячей. В те годы даже мы, не говоря уже о водоплавающих птицах, не могли предвидеть "бурного развития реактивной техники", - и потому тогдашние птицы воспринимали поговорку как выражение убийственного скепсиса. Тем не менее все было дозволено. Но, как известно, чувства орлов, а тем более - горных - чрезвычайно изощрены: там, где обыкновенный пернатый слышит просто кудахтанье, горный орел может довольно явственно различить "автономию" и "суверенитет". Потому и неудивительно, что "вскормленный дикостью владыка" первым делом основательно взялся за оппозиционно настроенных кур.

Операция продолжалась два дня, в продолжение которых все центральные газеты буквально были испещрены мудрой сентенцией: "Курица не птица, баба не человек". Оппозиция была сломлена. Вместе с ней уходило в прошлое поколение великих дедов. Погиб пронизательный Феникс. На соседнем острове, носящем чрезвычайно глупое название "Капри", скончался последний Буревестник. На смену им приходили полчища культурно возрождающихся воробьев. А Горного Орла между тем мучили угрызения совести. И день, и ночь в его больном воображении звенело предсмертное куриное: "Ко-ко-ко". Временами ему казалось, что все бескрайнее птичье царство надрывается в этом самом рыдающем "Ко-ко-ко". И Горный Орел издал конституцию. Вся суть которой сводилась к следующему: а) все дождевые черви и насекомые, обитающие в пределах "Птичьего острова", объявляются собственностью общественной и потому неприкосновенной; б) официально господствующим и официально единственным классом провозглашаются воробьи; в) допускается полная свобода мнений в пределах "чик-чирик".

Кудахтанье, кукареканье, соловьиное пение и пр. и пр. отвергаются как абсолютно бесклассовые. В вышеобозначенных пределах вполне укладывается миропонимание класса единственного и потому наиболее передового; г) государственным строем объявляется республика, соединенная с революционной диктатурой; последняя, как явление временно необходимое, носит исключительно семейный характер.

Свежепахнувшие номера конституции были распроданы в три дня. И один уже этот факт свидетельствовал о наступлении "золотого века". Но враги не дремали. Скрежетали зубами от агрессивной злости невоспитанные "заморские страусы". Страшным призраком надвигающейся катастрофы доносилось с запада ястребиное шипение. С высоты птичьего полета можно было отчетливо разглядеть за мерцающей далью странное передвижение птичьих стай, агрессивных по самому своему темпераменту. И гроза не замедлила разразиться. "Птичий остров" облачался в мундиры. На скорую руку реорганизовывалась индустрия. - Ворроны накарркали!! - судорожно сжимал кулаки Горный Орел. Однако перед частями мобилизованных воробьев попытался преобразиться в "канарейку радужных надежд": - Снова злые коршунуны заносят над миром освобожденных пернатых ястребиные черные когти! Будьте же орлами, бесстрашные соколы! Ни пуха вам, ни пера!

Военный оркестр грянул "Лети, лети, мой легкокрылый". Воинственно нахохлились воробьи и стрижи. То и дело раздавались возгласы: - Дадим им дрозда! Прощающиеся жены попробовали затянуть популярную в то время песенку "Крови жаждет сизокрылый голубок". Но от волнения произносили только: - Крррр! Поговаривали даже, что

"сраженный воробей" своей парадоксальностью несколько напоминает "жареный лед" и "птичье молоко". Оптимизм обуял всех. И от избытка его многие дышали учащенно. С неколебимой верой в правоту своего дела и с годовым запасом провианта улетали на запад возбужденные стаи. В пахнущем кровью воздухе звучало супружески-прощальное, наивно-трогательное: - Касатик ты мой! Весточку хоть пришли... голубиной почтой... - Ласточка ты моя! Горлинка! - Соколик мой ненаглядный! - Проща-ай, хохла-а-аточка! А оттуда, с запада, неслись уже странные, доселе не слышимые звуки. Что-то, как филин, ухало и, как сорока, трещало. А по крышам опустевших гнезд забегали вездесущие "красные петухи"... Шел уже 47-ой месяц непрерывной, тягостной войны, когда, наконец, на прилегающих к столице дорогах показались первые стайки уцелевших освободителей. "В пух и прах, в пух и прах!" - словно бы выбивали из земли воробьиные лапки. И царство пернатых, вторично освобожденное, захлестнула волна бесшабашно-лихой воробьиной песни:

Салавей, салавей, Пта-а-ашечка, Канаре-е-ечка-а!

Снова, как встарь, сомкнулись "орлиные крылья" вокруг "лебединых шей" - и жизненные силы дамских прелестей, вполне разбуженные еще залпом Авроры, теперь окончательно восстали ото сна. Не прошло и трех лет, как пернатое население острова стало жертвой нового стихийного бедствия: Горный Орел "погрузился в размышления". Страшны были не размышления; страшны были те интернациональные словечки, в которые он их облекал и о которых он не имел "совершенно определенного понятия". Так, он еще с детства путал приставки "ре" и "де" в приложении к "милитаризации". Будучи уже в полном цвете лет, "коронованный любитель интернациональных эпитетов" предложил произвести поголовную перепись населения "Птичьего острова". Когда ему был, наконец, представлен довольно объемистый "Список нашего народонаселения", - он, видимо, возмущенный отсутствием эпитета к слову "список", извлек из головы первый пришедший на ум; к несчастью, им оказался "проскрипционный". Запахло жженым пером, задергались скворцы в наглухо забитых скворешниках. Специфически воробьиное "чик-чирик" уступило место интернациональному "пиф-паф". И все-таки без особой радости восприняли воробьиные стаи весть о кончине Горного Орла. Глухо гудели церковные колокола. Окрасились трауром театральные афиши. По столичным экранам совершала последнее турне "Гибель Орла". Трупный запах и журавлиные рыдания повисли в осиротелой атмосфере. "Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои..." - стонали пернатые; причем, грачи-терапевты с подозрительной нежностью выводили слово "сами" и рабски преданно взирали на стоявшего у гроба пингвина. А пингвин, видимо слишком "окрыленный" мечтою, уже "парил в облаках". Начинался век "подлинно золотой". Мудрое правление пингвина вкупе со слоем ионосферы вполне обеспечивали безмятежное воробьиное существование. "Важная птица!" - с удовольствием отмечали воробушки и с еще б?льшим рвением клевали навоз экономического развития. После длительного периода сплошного политического оледенения наступили оттепели, следствием чего явилась гололедица - полное отсутствие политических трений. А гололедица, как известно, лучшая почва для "поступательного движения вперед". Молодые и неопытные воробушки зачастую поскользнулись и падали. Их подбирали пахнущие бензином и гуманностью черные вороны. И отвозили к Совам. "Неопытность" молодых воробушков заставляла, однако же, призадуматься и пингвина, и попугаев, и пристроившуюся к ним трясогузку. Не раз перед воробьиной толпою приходилось им превращаться в сладкоголосых сирен и уверять слушателей в том, что добродетель несовместима с бифштеком. Доверчивые воробушки в таких случаях чирикали вполне восторженно, однако здесь же высказывали "вольные мысли" по адресу трясогузки и составных частей ея. И вообще, следует отметить, в последнее время воробушки вели себя в высшей степени неприлично. К филантропии пингвина относились весьма скептически. И в самом выражении "бестолковый пингвин" усматривали тавтологию. Единственное, что вызывало сочувствие у жителей "Птичьего острова", так это внешняя политика пингвина.

Вероятно потому, что она была очень проста и заключалась в ежедневном выпуске голубей. Если даже иногда и приходилось вместо голубей пускать "утку" или даже "ястребки", воробушки не меняли своего отношения к внешней политике, ибо считали и то, и другое причудливой разновидностью голубей. Все это я почерпнул, как уже отмечалось, из приветственной речи пингвина. "Растроганный до жалобных рыданий" я произнес, в свою очередь, несколько слов перед микрофоном. Я убеждал их всех, что подводное царство, коего я являюсь полномочным представителем, всегда питало к "Птичьему острову" любовь почти материнскую и даже почти сыновнюю; что к "Птичьему острову", без сомнения, обращены теперь взоры всего прогрессивного животного мира и т. д. и т. д. В заключение я выразил надежду, что в гостинице "Чайка", которая любезно мне предоставлена, я буду чувствовать себя, как "рыба в воде". Что же касается "временных недостатков", то по прибытии в свою подводную резиденцию я буду молчать, как рыба. Вслед за этим открытая машина помчала меня к новой моей резиденции; причем, всю дорогу сопровождали меня поощрительные возгласы "Хорош гусь!", снисходительное щебетанье и восторженное кукареканье. В воздухе словно звенел алябьевский соловей, запах птичьего кала говорил о подъеме материального благосостояния. И тем не менее мне казалось, что все эти звуки и запахи сливаются в одно - в мелодию "лебединой песни".

11 октября

Пятница - синее, удивительно - синее, иногда сгущается до фиолетового, иногда отливает голубизной, но во всех случаях - непременно синее. Суббота - под цвет яичного желтка, гладкая, желтая и блестящая; к вечеру розовеет. Воскресенье - кроваво-красное, зимой - румяное. Если смотреть на него со стороны синей пятницы - кажется багровым, а в самом себе ассоциируется со знаменами и кирпичной стеной. Понедельник - до такой степени красное, что представляется черным. Вторник - светло-коричневое. Среда - невнимательному глазу кажется белым, на самом же деле мутно-белесоватое, за которым трудно разглядеть определенный цвет. Четверг - зеленое, без всяких примесей.

12 октября

Честное слово, я не виноват... Разве ж я знал, что вы уезжаете... И потом - неужели все, о чем я говорю, нужно принимать всерьез... Мало ли что я скажу, - так ведь надо уметь отличить... Одним словом, я совсем не виноват... я никак не мог ожидать, что опоздаю... Вернее, я опоздал нарочно, но ведь я совсем не хотел опаздывать... Да и зачем мне опаздывать, даже если бы я этого и хотел... Это же не оттого, что я сошел с ума... я совсем и не сошел с ума... у меня, наоборот, самая нежная к вам привязанность, ко всем трем... Может, я потому и не явился на "последнюю семейную встречу", что очень нежно к вам привязан... Вы, наверное, думали, что я снова "Жаворонок" вам буду играть или хвастаться... пить водку крохотными глоточками... Вы даже специально купили мне... А потом у поезда ждали... И уже когда поезд тронулся, все ждали: ведь он сейчас прибежит... как же он может не прибежать... А я, может, в это время проститься с вами хотел... Лежал и "хотел"... Посмеивался... Я теперь всегда смеюсь, чтобы от страха не стучали зубы... Чтоб было незаметно, что они стучат... Я, может, в это время и "Жаворонок" хотел вам играть... Мне ведь совершенно все равно, куда идти и что играть... А я на самом деле только к двери подходил... и говорил "Как вы смеете..." Младшего называть сумасшедшим, а потом еще "хотеть" чего-то... Вы хоть и не называли меня сумасшедшим, а я все-таки видел, что вы меня называли... Я даже к двери подходил и говорил "Как вы смеете"... Это не оттого, что мне хотелось отомстить... Вы же ничего не говорили как же я могу отомстить!.. Вы просто думали, что я хвастаться буду... "Жаворонок" умеет играть... как же он не прибежит... он обязательно прибежит... Вы совсем этого не думали... Ведь нельзя же в последний раз... Самый последний раз... Нужно быть сумасшедшим... Я даже не помню... я как будто бежал за вагонами... немножко бежал... У меня, если хотите знать, слезы были... Вот видите - даже слезы...

16 октября

Как ни расписывал Кирилл Кузнецов мой режиссерский и актерский талант, постановка "Нормы" при газовом ночном освещении кончилась блестящим провалом. Хор друидов, состоявший из членов 307-й комнаты, оказался не на высоте. И, не дождавшись кульминации спектакля, взялся за вольнодумство. Особенно неистовствовал Якунин. "Так что же, я, по-вашему, молчать должен? Нет уж, извините, господа, когда по радио да в газетах про рабочих всякие небылицы пишут, а здесь рабочего человека за скотину считают! Я бы этому Маркову сегодня в морду плюнул, если бы хоть немного выпил! Какое он имеет право издеваться над грязно-рабочим! Что же это я, выходит, работаю, как скотина, чтобы себя прокормить, а у меня половину отбирают на заем! "Отдадим свои излишки в долг государству!" А?" Мишенька шел еще дальше: "Мы не живем! Мы существуем! Мы, как бараны, трудимся для хлеба и для водки, а пошлют нас, как стадо баранов, воевать в Сирию или в Венгрию, так мы и пойдем, будем резать и кричать "ура", пока нас не зарежут!" Михаил Миронов, всегда исполнительный, восставал теперь против армейского насилия над чувством человеческого достоинства. Шопотом выражал неудовольствие Сергей Грязнов: как это можно - работать в бетонном цехе целый месяц - и в результате не только не получить ни копейки, но даже остаться должником государства! (Факт, действительно имевший место). Кирилл Кузнецов с братией восстанавливали в памяти лица расстрелянных родственников и оглашали кухонные стены великолепным "Долой!" Виктор Глотов скрипел зубами. Он уже устал от прожектов "всеобщего благородного хулиганства". А Ладутенко договаривался до абсурда: "Да вы знаете, что будет, если война начнется? Да русский Иван с голоду будет подыхать! В ту войну еще как-то держались на американской тушенке, а то бы и тогда половина передохла! Вот попомните мои слова - полная измена будет! Вы думаете, что у нас это высшее командование мирно настроено! Да у них руки-то чешутся, может, больше, чем у американцев! Пусть будет война! А то вот для чего мы живем? Ничего у нас впереди нет и ждать нечего... Пить, разве, только!..." "Болото... болото..." "Гаспада! Свет не включать!" Пришествие коменданта несколько облагоднамеривает романтиков и реалистов. - Как это так - разойдись?! - Пришибеевщина!.. - О-о-о! Комендант! Нам как раз нужен "хор друидок"! Это - несгибаемые декаденты. Они весело изливают мрачное недовольство. Если бы ставилась пьеса Волковича, они с таким же успехом предложили бы коменданту занять вакантную должность ангела-хранителя. - Ерофеев, уйдите из кухни! И все остальные - расходитесь по этажам! - Поми-и-илуйте! Вы же затыкаете рты! - Свобода мне-ений! Свобода сборищ! - На фона-а-арь... Пролетариат негодует. Как будто кто-то виноват, что они голодны и "выражают мнения". Меньше пить! - здравая логика. И держать язык за зубами. - Вы знаете, что за это бывает, за ваши длинные языки? Конечно же, они знают - и, тем не менее, завтра они снова будут здесь. Ох, уж эти пролетарии! Раньше хоть смотрели волками, но ведь не нарушали порядка в Новопресненском общежитии. А теперь добрая четверть схватилась вдруг за "достижения человеческого разума", вооружилась бумагой и фиолетовыми чернилами... Этак скоро они потребуют и людского существования...

21 октября

Несколько истин, которые были мною постигнуты на девятнадцатом году моего существования: "Всякое тело сохраняет состояние покоя, пока и поскольку оно не понуждается внешними силами изменить это состояние" (в дни прошлогодней октябрьской "горизонтальности"). "Из двух хорд, неодинаково удаленных от центра, та, которая ближе к центру, больше и стягивает б?льшую дугу" (в минуты мысленного сопоставления В. М. и Л. К.). "Две параллельные прямые не пересекутся, сколько бы мы их ни продолжали" (в размышлениях над сходством моих судеб и судеб А. Г. М.). "Все тела в данном месте "падают" с одинаковым ускорением. Это ускорение называется ускорением свободного "падения" (в размышлениях над сходством моих судеб и судеб Л. А. В.). "На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости, вытесненной этим телом" (в час изгнания из университетского общежития).

"Выпуклая фигура, концы которой сходятся к одной точке, является "замкнутой" (по поводу А. Г. М. и А. Б. М.). "Если в треугольнике два угла - острые, но оба они в сумме - меньше прямого, то наибольший угол данного треугольника - тупой" (по поводу савельевского острословия). "Чтобы опрокинуть вертикально стоящее тело, достаточно довести его до положения неустойчивого равновесия" (по поводу мартыновской целомудренности). "Звуки, "образование" которых не требует участия голоса, называются "согласными" (о пролетарской лойяльности). "Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов" (единственное, что можно сказать по поводу будущего моего существования).

23 октября

Накануне дня своего рождения приветствую проблески жизни в святом для меня чреве.

Преклоняюсь перед "очаровательной стыдливостью" будущей матери Антонины Мартыновой.

24 октября

Я - все. Я - маленький мальчик, замурованный в пирамиде. Ползающий по полу в поисках маленькой щели. Я - оренбургский генерал-губернатор, стреляющий из мортиры по звездам. Я - мочка левого уха Людовика Восемнадцатого. Я - сумма двух смертоносных орудий в социалистическом гербе. Меня обрамляют колосья. Слово "зачем" - это тоже я. Я - это переход через Рубикон, это лучшие витрины в Краснопресненском универмаге, это воинственность, соединенная с легкой простудой. Я - это белые пятна на географических картах. Надо мной смеялись афинские аристократы. Меня настраивали на программу Московского радио. Меня подавали с соусом к столу мадам Дезульер. В меня десять минут целился Феликс Дзержинский, - и все-таки промахнулся. Мною удобряли земельные участки в районе города Исфагань и называли это комплексной механизацией, радостью освобожденного труда и еще чем-то, чего я не мог уже расслышать. Знаменитый водевилист Боборыкин обмакивал в меня перо, а современные пролетарии натирают меня наждачной бумагой. Я - крохотный нейтрон в атоме сталинской пепельницы. Я изымаю вселенную из-под ногтей своих.

25 октября

"Ничего такого особенного не было. Какой там духовой оркестр! Если бы не Маруськи Перевозчиковой муж, мы бы, наверно, и лошади не достали. А он и гроб сделал сам, с ее сестрицы денег на могилу потребовал. Я даже мать приглашал хоронить - так она потом весь день на меня кричала. И тебя потом обзывала, ревела всю ночь. А ее - и "паскудой" и по-всякому... Я бы, говорит, ей в морду плюнула в мертвую... Как будто это она и виновата, что ты запьянствовал и бросил учиться... И вообще, мало народу было. Кроме меня, наверно, человек десять. И лошадь - какая-то кляча, все время спотыкалась; полтретьего только доплелись, а там фонарей почти нет, темнота... да еще буран к вечеру поднялся... Могилу заново пришлось разгрести... А она - ничего, все такая же, только уж слишком белая какая-то. И снег просто падает на лицо и не тает. Такая смиренная, даже на себя не похожа. Я смотрел, смотрел, так даже влюбился. Ну, чего ты смеешься, честное слово, влюбился... И все время тебя вспоминали". Борис Ер.

27 октября

Странные люди, эти Мартыновы! Даже там, где нужно всего-навсего вмешательство милиции, они взывают к небу! Я говорил им, а они не понимали, что это нелепо. Поэтому я решил удалиться. Но удалился не сразу. Ровно полмесяца еще устрасал их с порога "ужасами правосудия". А они смеялись и про себя называли меня трусом. Как им угодно! Я же говорил, что это чрезвычайно странные люди... Они никак не могли представить себя в положении подсудимых и калек... А ребенок?... Что же будет с ребенком?... Ведь не обязан же он отвечать за буйство своего родителя! Александра Мартынова действительно так выражалась. "Поклонники" утешали ее: вашему супругу за колючей проволокой гораздо приятнее... к тому же сбылись ваши давешние мечтания... начало нравственной свободы... а стало быть, пружинный матрас и жизненные утехи... фу, как очаровательно, Сашенька... Сашенька казалась неутешной. Она одна виновата... Она и не предполагала...

Супруг вернется через три года и зарежет ее... Это уже ясно, как день... А в этих благодетелях совершенно нет сострадания... Тянутся к матрасу... точно клопы... Ух, как она их ненавидит! Она даже ножкой притопнет - вот как она их ненавидит! Все это слишком уж было чувствительно. И я решил "удалиться". Несколько странно смотрел на косы и "вдовьи" плечи: ничего не поделаешь... раз виноваты, так уж, конечно, виноваты... да нет, не холодно, а то там у вас - "поклонники", духота... во-о-от, видите, как хорошо, - даже заулыбались оба... а он-таки вас прирежет... и вообще эта самая жизнь вещь недурная... ну, что вы, непременно ее, мы даже имя вместе изобрели... это даже в некоторой степени знаменательно... будущее вашей фамилии... Да ну вас, не люблю это я что-то трогательное... Помните, как-то в июнь под дождем смеялись и очаровательный сосок... В общей сложности пятьдесят лет... а подставляли грудь, словно... И вообще - слишком уж веселая вещь, этот "июнь"... А что касается супруга - так этого вам никто не простит... И поделом... Читайте "Евангелие"... дочь, непременно дочь!.. Прощайте...

31 октября

Незаметно смиряюсь. Раньше меня обнадеживала довольно странная вещь: мне почему-то казалось, что в пятьдесят седьмом году не может быть никакой осени... Вчерашний день убедил-таки меня, что так оно и есть... Я как будто задремал... Проводил аплодисментами все происшедшее, а вызывать на бис не собираюсь...

1 ноября

"Сегодня случилось одно незабываемое событие. Тот самый Ерофеев, который всегда приходил в нашу комнату, пришел немножко пьяный и взялся рассуждать. Все, которые у меня сидели, человек десять, стали смеяться над его идеями и спорить. Я, конечно, не принимал никакого участия, а только слушал... А потом, когда все разошлись, я долго не мог заснуть. Переворачивался с боку на бок и все думал и думал: "Ну, для чего я живу, для чего это я переворачиваюсь?" Повторял до двух часов ночи все, что я услышал, и про себя смеялся... В конце концов, не смог улежать и вот теперь на кухне пишу дневник. Теперь я уже знаю свою цель: я не буду, как другие, слепо подражать Ерофееву, но буду читать, читать и читать. Это для меня теперь самое главное. И все, что я смогу сделать в этом деле, о котором говорил Ерофеев, я все сделаю. Но для этого - читать". ("Дневник" В. Я., 15-е окт.)

"...я немного сошелся с Ерофеевым; я и раньше много о нем слышал от Кузнецова, но он превзошел все мои ожидания. Все его разглагольствования я хоть разбить и не могу, но я чувствую, что все это не по мне. А когда он играл вторую сонату, то слушал с удовольствием. А ведь раньше я ничего не понимал..." ("Дневник" Мих. Мир., 3-е окт.)

"Если он серьезно говорит, что у меня есть талант, то этим я обязан только ему. Если бы игра судьбы не занесла этого непонятого человека в нашу среду, вряд ли я бы стал писать..." "...и мне не понравилось только то, что, когда начался серьезный спор между "вольнодумцами" и "благонамеренными", Венедикт, от которого мы все ожидали решительного слова, все свел к какой-то шутке..." "...боюсь, что, когда Венедикт уедет, будет все то же самое; и я буду тем же самым..." ("Дневник" В. Гл., 8, 8, 24 сент.)

"...Зина назвала Венедикта Дон Кихотом, Обломовым и Иудой. Я за это обзвал ее дурой и больше в тот вечер с ней не разговаривал..." "...О! Теперь я знаю, что мне делать, где я нужен! Вот где истинное мое призвание! Тысяча благодарностей будущему собаке-МГБшнику! А разве я жил до этого?..." ("Дневник" К. К., 11-е, 20-е окт.)

3 ноября

Как раз это очень важно! В другой раз я, может быть, не обратил бы на это никакого внимания. Мало ли что может присниться во сне! Да и действительно - мало ли... Снилось мне, например, на прошлой неделе, что я с солнышком разговаривал. Его хоть и не было нигде, а я все равно разговаривал. Честное слово. А в другой раз приснилось мне, будто бы сразу вдруг никого не стало. Совершенно никого не стало. И каждый ко мне подходил и спрашивал: "Почему это меня нет?" А я как будто бы глухонемым притворяюсь и каждого переспрашиваю: "А?" И так это смешно мне было. Я даже во сне

смеялся. Мало ли что мне снилось... Так это ведь все на прошлой неделе было. А в этот раз совсем не то... вовсе не то... Было что-то важное... А что важное - я и теперь понять не могу... Вернее, вспомнить никак не могу. Со мной это часто бывает: во сне гениальные догадки делаю, а как проснусь - забываю... помню только, что было что-то гениальное, а что - никак не могу вспомнить... Так вот и теперь - пустое ощущение важности... и ничего сколько-нибудь определенного. И от этого самого - бесчувственно хорошо: может, это и действительно настолько важно... может, я и в самом деле лишаю мир еще одной необходимой истины... тем самым лишаю, что насильственно держу в голове эту самую... неопределенность. Да ведь я и сам хочу узнать, что это... А вот возьму - и не буду знать!.. И хотеть не буду! А ведь я могу... могу... одно маленькое, крохотное напряжение мысли... памяти... - и все!.. Но ведь это незачем... это ведь страшно необходимо, и мне самому это необходимо... а зачем это мне?.. это же вовсе не нужно... Я вот даже плакать буду над тем, что это не нужно... над собой буду плакать... над тем, что я ничего не могу, хотя стоит мне только захотеть... но ведь я и не хочу, чтобы мне хотелось... Я вот и над этим плакать буду!.. Может, это как раз и есть то "важное"... Может, это неприятное удовольствие, которое меня охватило, и есть то самое, что мне хотелось узнать... и что снилось мне... Но зачем мне это знать?.. зачем?..

7 ноября

Гражданка, отойдите вправо! Я не вижу, кто кого бьет! Она его или он ее? Ах, он ее! За что же это он ее? Это, наверно, от скуки! Ну, конечно, это от скуки! То есть, как это: никто никого не бьет? Разве ж вы не видите? Ах, лобзаются! Ну да, ведь они лобзаются! За что это он ее? Ведь и в самом деле - он ее! Это, наверно, так просто, скучно им! Да и действительно скучно! Ну, почему вы так думаете? Разве же можно - наедине? Наедине никак нельзя! Его не видно, но ведь он здесь! А она - вон, видите, и слева, и справа, везде она! И вон там, в отдалении - тоже она! А он здесь совершенно не нужен! Он только на минутку показался и сразу... Ну гражданочка, отойдите же, ради бога! Я ничего не вижу!..

11 ноября

Вот, как будто бы, и все...

13 ноября

Я хорошо понимаю, что приближающаяся станет очередной жертвой кирилловского опынания... И хоть я уже ясно различаю выступающую из троллейбусного мрака, я отворачиваюсь и с нетерпением ожидаю... - Грыжданка! Празришите прредставиться... Извините, что я не в своем обнаковенном виде... Почти не оборачиваясь, я беру Кирилла за локоть и говорю недовольно: - Кирилл, ну неужели тебе не надоело? Спутник мой не обращает внимания, и, пока "жертва", огибая его, направляется к стромынской изгороди, неистовствует... - Эта хладнокровная гражданка... любит ходить зигзагами!.. Она, вероятно, полагает... - Кирюш, брось... Это Музыкантова!.. - А мне срррать на то, что она Музыкантова! Эй! Ты! Ну, чего не оборачиваешься, ппизда!.. Она, Веничка, позорит свою фамилию! Граждане, которые идут на Стромынку! Прощайте! Прощайте! Уезжаем, так сказать, из пределов столицы! Прощайте! Не увидимся никогда - и слава богу! Еббать вас в рррот! Сейчас для вас будет исполнена 2-ая соната Ббитховена! Ария Каваррадости! Великий музыкант Вень... Веничка, что с тобой?..

14 ноября

1. "Начальнику 2-го строительного управления Ремстройтреста от прораба Савельева А. И. заявление. Прошу обратить Ваше внимание на то, что рабочий Ерофеев В. В. на протяжении последних 3-х месяцев совершенно не является на работу без уважительных причин на это. Прошу принять соответственные меры. Савельев. 10/XI - 57 г." 2. "Начальнику 88-ого отделения милиции от коменданта общежития Ремстройтреста Советского р-на г. Москвы заявление. Довожу до Вашего сведения, что проживающий по Новопресненскому пер. 7/9, к. 203, Ерофеев Венедикт Васильевич, прописан в д. месте жительства с условием работы в Ремстройтресте. Однако, на протяжении последних 4-х месяцев т. Ерофеев, нигде не работая, получает деньги подозрительными путями и к тому

же нарушает все правила общежития. Подробности при рассмотрении. Комендант общежития Ст. Г. 11/XI - 57 г." К нему при "рассмотрении" прилагается перечень "вольных мыслей". 3. "Начальнику 88-ого отделения милиции от начальника 2-ой части Советского Райвоенкомата". 4. "Начальнику 2-ого строительного управления Ремстройтреста от начальника 24-ого отделения милиции г. Москвы". 5. "Начальнику 88-ого отделения милиции. Дело т. Ерофеева от 29/IX - 57 г. 66 отд. мил." 6. "Начальнику 2-ого строительного управления Ремстройтреста Зеленову А. И. Объяснение. От рабочего Ерофеева В. В. Спешу Вас уведомить, что дело от 29/IX - 57 г. 24-ого отделения милиции вкупе с донесением коменданта, а также 66-ого отделения милиции вопроса о месте моего пребывания на территории общежития абсолютно не затрагивает. Передача вышеупомянутых дел на рассмотрение Народного Суда Советского р-на обязывает Вас несколько воздержаться от утверждения приказа за № 730. Имею честь пребыть: Венедикт Ерофеев. 11/XI - 57 г." 7. "Коменданту общежития Ремстройтреста от начальника отдела кадров 2-ого СУ Абдурахманова В. В. 11/XI - 57 г." 8. "Приказ по Ремонтно-строительному тресту Советского р-на г. Москвы № 731.

В соответствии с... уволить т. Ерофеева с работы в СУ-2-РСТ с запрещением дальнейшего пребывания на территории г. Москвы. Ст. 47 Г. Зеленов. Суворов. 11/XI - 57 г." 9. "Ерофееву В. В. Предлагаю Вам в трехдневный срок освободить помещение. Комендант. 14/XI - 57 г." 10. "Т. Ерофееву В. В. 88-ое отд. милиции запрещает Вам выезд из места жительства до рассмотрения Ваших дел от 28/VIII, 29/IX, 11/X, 8/III - 57 г. и 31/X - 56 г. Советским районным судом г. Москвы, состоящегося 19/XI 57 г. Ковтун. 14/XI - 57 г."

15 ноября

Знаменательно: вчера выпал первый снег, а сегодня растаял. Чуть-чуть знаменательно.  
16 ноября

Все-таки интересно, почему над моим домом никто еще не повесил гирлянду из желтых роз? Они думают, что у меня нет дома - но ведь это не оправдание. У меня действительно нет его, у меня вообще ничего нет, но дом-то все-таки есть; я даже развесил на окнах его фиолетовые занавески... Если все остальные цвета, даже красный, кажутся мне до смешного глупыми, почему бы мне не предпочесть фиолетового?.. Видите - я даже могу предпочесть! Разве ж можно после этого сомневаться в том, что моя обитель требует украшения! Совсем не обязательно - желтые розы... Можно просто... мимо пройти - и заглянуть в мои окна... И вы ничего не увидите - тот, кто заглядывает в чужие окна, видит на фоне темной занавески отражение своей собственной физиономии... А разве это не украшение моей "обители"? Это даже единственное украшение. Все остальное я давно уже продал - иначе мне пришлось бы умереть с голоду... Оставил только это, последнее... Фиолетовые занавески... Ведь если их сбросить, каждый увидит: пусто... Нет ничего... А ведь было, наверное... Что-то было...

## **Венедикт Ерофеев** **Бесполезное ископаемое<sup>103</sup>**

\* \* \*

Самый большой грех по отношению к ближнему – говорить ему то, что он поймет с первого раза.

\* \* \*

У меня абсолютный слух. Я способен расслышать, как рушатся моральные устои на Пятницкой, 10, как плачут ангелы над погибшей душой друга Тихонова.

\* \* \*

Это не для меня, это для менее сложных натур.

---

<sup>103</sup> Тексты печатаются с сохранением авторской орфографии и пунктуации во всей их противоречивости и непоследовательности.

\* \* \*

слово «что-нибудь» все честные люди пишут через черточку

\* \* \*

Я на небо очень редко смотрю.

Я не люблю небо.

\* \* \*

Так думаю я и со мной все прогрессивное человечество.

\* \* \*

Я сердоболен.

\* \* \*

По Корану свидетельство одного мужчины приравнивается к свидетельству двух женщин.

\* \* \*

Де Местр: простолюдин глуп, груб, безнравствен и подл.

\* \* \*

Ванька-Каин и Сонька-маникюрщица. Уголовный роман.

\* \* \*

футурист Антон Пуп

\* \* \*

Не трогайте моих чертежей!

\* \* \*

Жаб я не люблю. Я пауков люблю. И филина.

\* \* \*

«Осерчала ты, Мать Богородица!

Богородица Мать, не серчай!»

(Городецкий)

\* \* \*

Раз начав, уже трудно остановиться. 50 лет установления советской власти в Актюбинске, 25 лет львовско-сандомирской операции etc. etc. Все ширится мутный поток унылых, обалбесивающих юбилеев.

\* \* \*

Как хороши, как свежи были позы!

\* \* \*

«Но так скучать, как я теперь скучаю,

Бог милосердный людям не велел».

(Адамович)

\* \* \*

Иди ко мне, подлюка, я с тобой поделюсь моей нехитрой девичьей тайной.

\* \* \*

Опять о Прометее и под какую статью Уголовного кодекса попал бы страдалец.

\* \* \*

Вл. Бестужев:

«Средь бесконечных волн рождаю Мою свободную струю».

\* \* \*

Вл. Бестужев:

«За видимым невидимое вижу, Но видимое пламенной люблю».

\* \* \*

Пидеразм Вроттердамский

\* \* \*

Неуважение к русским только по одному мотиву – их легкий отказ от внешней, обрядовой стороны христианства, почти у всех поголовно, и от этого ущерб, всеобщий, самого христианского чувства.

\* \* \*

«Приличие – величайшее несчастье XIX века» (Стендаль).

\* \* \*

В Японии свободно продаются в магазинах бамбуковые наборы для харакири.

\* \* \*

«И что же дается в наших театрах? какие-нибудь мелодрамы и водевили!... Сердит я на мелодрамы и водевили».

(Гоголь, «Москва и Петербург»)

\* \* \*

О скульптуре: «Напрасно пытались изобразить ею высокие явления христианства».

\* \* \*

«Не таковы две сестры ее, живопись и музыка, которых христианство вздвигнуло из ничтожества и превратило в исполинское».

\* \* \*

«Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?»

(Гоголь, «Скульптура, живопись и музыка»)

\* \* \*

Симбирский поэт начала века Ник. Лоскутов и его сборник стихов «Рыданье гибнущих надежд».

\* \* \*

Гоголь о царе вандалов Гензерихе: им овладела та свирепая задумчивость, которая сушит и мучает душу.

\* \* \*

Белый и синий – цвета Богородицы.

\* \* \*

К вопросу о «собственном я» и т.д. Я для самого себя паршивый собеседник, но все-таки путный. Говорю без издевательств и без повышений голоса, тихими и проникновенными штампами, вроде «Ничего, ничего, Ерофеев» или «Зря ты все это затеял, ну да ладно уж» или «Ну ты сам посуди, ну зачем тебе это» или «пройдет, пройдет, ничего».

\* \* \*

Если человеку по утрам скверно, а вечером он бодр и полон надежд, он дурной человек, это верный признак. А если наоборот – признак человека посредственного. А хороших нет, как известно.

\* \* \*

Это напоминает ночное сидение на вокзале. Т.е. ты очнулся – тебе уже 33 года, задремал, снова очнулся – тебе 48, опять задремал – и уже не проснулся.

\* \* \*

Бестолковость, т.е. поэтичность мышления.

\* \* \*

Блажен, с кем смолodu был серп,

Блажен, с кем смолodu был молот.

\* \* \*

Я владыка естества, не забывай, гаденыш.

\* \* \*

В общежитии «сапогом в живот надо, пусть корячится».

\* \* \*

А она мне, субтильная мандавошечка, говорит на это: «А кто детей будет за тебя воспитывать, Пушкин что ли?»

\* \* \*

Новость: Чапаева откачали.

\* \* \*

Один, издеваясь, спрашивает: «Чьей женой была Нефертити, если мужем ее был Тутанхамон?» А другой, унылый скептик, отвечает: «Я с твоей Нефертити и срать рядом не сяду».

\* \* \*

«Люблю сухой, горячий блеск червонца».

(Бунин)

\* \* \*

Сильвио в «Паяцах»: «О, для чего тобой я околдован?»

\* \* \*

У Городецкого: «Ах вы, ангелы, архангелы, святители мои!»

\* \* \*

...написать задачник, развивающий, попутно с навыками счета, моральное чувство и чувство исторической перспективы.

\* \* \*

Например такая задача. Выразить в копейках цены зверобоя, московской особой, столичной, российской и найти в истории европейской такую войну, все основные события которой следовали бы с теми же интервалами.

\* \* \*

... Преодолевают свое «я», находят свое «я» и снова его теряет, преследует себя, обретает себя, вновь и уже окончательно преодолевает, но потом невпопад снова находит.

\* \* \*

«По-модному одета

В широкое манто —

Она забыла это

И помнит только то».

(Потемкин)

Когда отступаешь от идеалов, напоминай обвинителям, что быть совершенно благородным скушно.

\* \* \*

И рожи у них гладкие, классически-ясные. Если и есть прыщи, то где-нибудь у загривка.

\* \* \*

солидное поэтизирование адюльтеров у этих антимещан и пидоров.

\* \* \*

Ты жил в углу, мой Веничка.

\* \* \*

Постранствуй-ка в пространстве.

Брюсов рифмует Сирию с Ассирией.

\* \* \*

В стихах Ардова: «Дай руку мне, вся жизнь есть бред» или: «Не подходи, ты не поймешь цветов».

\* \* \*

Коран рекомендует: «возноси хвалы при уходе звезд».

\* \* \*

Во вступительной статье: все они пришли в канун века или чуть позже, и году к 20-му все перемерли или разбежались.

\* \* \*

Все подлости относить на счет антиномичности ее души.

\* \* \*

«Если хочешь – иди согреси».

(Д. С. Мережковский)

\* \* \*

Северянин о городе Череповец:

«Давно из памяти ты вышел,  
Ничтожный город на Шексне».

\* \* \*

\* \* \*

Писать надо по возможности плохо. Писать надо так, чтобы читать было противно.

\* \* \*

Оказывается, это знаменитый шансонье Шевалье, в своем соломенном канотье.

\* \* \*

У Гоголя в «Майской ночи» Ганна признается Левко, что любит его без памяти за то, что тот умеет дергать и шевелить усом.

\* \* \*

Конечно, можно прожить и без этого всего. Какое дело, к примеру, чукчам, есть у них Анакреон или нет?

\* \* \*

И всегда с наступлением холодов с завистью вспоминаю Прозерпину, которую Плутон забирал к себе в Аид на эти зябкие полгода – и выпускал на волю к первым цветам.

\* \* \*

Поэтизировать природу – самое недостойное занятие. Она ни в чем нам не сродни, т.е. слепа, нема, глуха и самое главное – не чувствует боли. У нее есть аппетит, пожалуй и все.

\* \* \*

Розанов сказал: «Тайный пафос еврея – быть элегантным».

\* \* \*

И Томас Манн в 42 г.: «Из это такая простая правда, что больно говорить о ней».

\* \* \*

Вадим Лжедмитриевич

\* \* \*

Суворин о Толстом: «Ну, что хотя бы и Хад-жи-Мурат против Капитанской дочки? Говно». «Говно» было его любимое слово.

\* \* \*

Знать о Перу не больше, чем есть в веселой истории Периколы и Пекильо у Оффенбаха.

\* \* \*

О Брюсове в журнале «Сельская молодежь»: символист с гипертрофированным интеллектом.

\* \* \*

Я длинен настолько, что «подпираю небосклон», как сказал поэт о Казбеке.

\* \* \*

И вот тогда-то я научился ценить в людях высшие качества: малодушие, незрелость и недостаток характера.

\* \* \*

молодежный вальс Хабибулина и молодежные песни Агабабова

\* \* \*

Вопрос: кто из нас троих представляет собой художественную ценность?

\* \* \*

говорить о меню применительно к духовной пище

\* \* \*

Идеал последовательности: направляя заказ на книги в магазин «Книги стран народной демократии», писать так: Москва, К-9, ул. Горького, 15. Книги стран коммунистических однопартийных режимов.

\* \* \*

Надо привыкать шутить по – «Крокодилски», например, так: «Будь у нее формы, я взял бы ее на содержание».

\* \* \*

Дай мне силы, Боже, пройти завтра мимо него и не плюнуть в лицо ему!

\* \* \*

Веселись, негритянка!

\* \* \*

в обществе блестящих женщин села Караваева

\* \* \*

Это случилось в 1909 г., т.е. уже к тому времени, когда он (Скрябин) совсем раздухарился и стал давать своим опусам блатные названия.

\* \* \*

Мне не нужна стена, на которую я мог бы опереться. У меня есть своя опора и я силен. Но дайте мне забор, о который я мог бы почесать свою усталую спину.

\* \* \*

что удобнее потерять: вкус или совесть?

\* \* \*

если это система, то очень нервная, эта система

\* \* \*

Рассказ о Маугли автобиографичен. Киплинг сам был вскормлен волками британского империализма.

\* \* \*

и хочется кому-нибудь что-нибудь внедрить

\* \* \*

А, знаю! Античность, громы Юпитера, зерно Персефоны, борьба титанов и драйзеров и т.п.

\* \* \*

В 1956 г. стало известно, что Олег Кошевой был педерастом. Это послужило причиной фадеевского самоубийства.

\* \* \*

смертоносные сообщения

\* \* \*

использование и возврат низменных чувств

\* \* \*

В мировой поэзии скептицизм облачается обычно в форму шестистопных ямбов: например, так: Гамлет не говорил: «ту би ор нот ту би». И Мальбрук никогда в поход не собирался.

\* \* \*

у Ф. Сологуба: «Расстегни свои застёжки и завязки развяжи».

\* \* \*

О благородстве спорить нечего. У Матфея уже изложены все нормы благородства.

\* \* \*

Если ты все знаешь, так скажи, какой средний грузооборот у Щецинского порта?

\* \* \*

С детства приучать ребенка к чистоплотности, с привлечением авторитетов. Например, говорить ему, что святой Антоний – бяка, он никогда не мыл руки, а Понтий Пилат наоборот.

\* \* \*

Любую подлость оправдывать бальзаковским: «Я – инструмент... на котором играют обстоятельства».

\* \* \*

В мой венец он вплеп 2-3 своих лавра, а я потом ходил и не понимал: откуда это так плохо пахнет?

\* \* \*

Дежурная фраза Кузьминичны: «Сову видно по походке, а добра молодца – по соплям».

\* \* \*

пристрастие всех неуравновешенных натур к моральной философии

\* \* \*

все проделывала с потрясающей пластичностью

\* \* \*

Хорошему человеку всегда хорошо.

\* \* \*

«прекраснее самой красоты», как говорят на Филиппинах

\* \* \*

Надо уметь «подождать до времени», чтобы избавиться от упреков разных сопляков, вроде Гамлета; надо доносить свои башмаки, прежде чем решиться.

\* \* \*

Одна русская дама у Герцена: «Что мне надо сделать, чтобы полюбить Швэйцарию?»

\* \* \*

Так же, примерно, модно, как в 50-х гг. было смеяться над Ламартином.

\* \* \*

И чудак же этот Ахиллес Пелид! У всех нормальных людей только пятка неуязвима, а у этого – все наоборот.

\* \* \*

Продается ручной скворец по кличке Федя. Разговаривает, свищет по-соловьиному, поет «Цыганский барон» и целуется. Цена 75 руб.

\* \* \*

В 18-19-летнем возрасте, когда при мне говорили неинтересное, я говорил: «О, какой вздор! Стоит ли говорить!». И мне говорили: «Ну, а если так, что же все-таки не вздор?» И я наедине с собой говорил: «О! Не знаю, но есть!». Вот с этого все начинается.

\* \* \*

Нужно, чтобы всякий предмет, попавшийся на глаза, мог стать темой.

\* \* \*

Ягненок! Возляг рядом с волком! Слейтесь в поцелуе, мучитель и жертва! Сними паранджу, угнетенная женщина Востока!

\* \* \*

философские камни в печени

\* \* \*

Интересно, как глядели бы на тебя, если б ты сейчас вот вышел в белом жилете с отворотами а la Робеспьер. Или, например, орал бы в переулке: «Долой Гизо! Да здравствует Реформа!»

\* \* \*

Последовательным антисиионистом может стать только тот, у кого утвердилась Святыня.

\* \* \*

«Обжирайтесь, мрачные умы!»

\* \* \*

Не женщина, а телесное наказание.

\* \* \*

Царь Мидас, к чему бы ни прикасался, все обращал в золото, а в твоих руках все делается дерьмом.

\* \* \*

Вот еще красивое женское имя: Антанта.

\* \* \*

Целых три рубля! «За каждым крупным состоянием кроется злодейство», сказал Бальзак.

\* \* \*

Ритуальный танец Замбии «Убийство Лумум-бы» символизирует радость жизни и борьбу с темными силами природы.

\* \* \*

Чтобы жена никогда не сомневалась в твоей верности, – советую я, – дай ей понять, но только самым косвенным путем, что ты простофиля. Т.е. не абсолютно простофиля, а ровно настолько, чтобы не потерять любви и быть (одновременно) свободным от подозрений.

\* \* \*

Вижу, как цветут каштаны. Прихожу к тому, что красивее калины ничто не цветет. Смотреть, смотреть. Нюхать, нюхать.

\* \* \*

а олады такие нежные, такие аппетитные, – ну, прямо как девушки!

\* \* \*

Ценные вещи создаются только в «мире, где все продается и покупается».

\* \* \*

Любимый герой Шолохова (Давыдов, «Поднятая целина») говорит: «Ты бы лучше массовую работу вел, а растреливать – это просто».

\* \* \*

Лично я убежден в историчности Адама и Евы.

\* \* \*

О! До чего горька была участь женщины-узбечки до Октябрьской революции!

\* \* \*

Родственные чувства испытывать удобнее, потому что они имеют очень четкий предел.

\* \* \*

громадная душа в щуплом и веснушчатом теле. Не женщина, а стихотворение в прозе.

\* \* \*

Новая история интереснее старой. Можно было бы проследить, как дублируются поступки древних из тех соображений, которые им показались бы смешными. Муций Сцевола – о. Сергей, Курий – Гаршин.

\* \* \*

ничто не вечно, кроме позора

\* \* \*

За одно и то же, т.е. за один способ поведения, известную группу металлов называют благородными, а газы – инертными.

\* \* \*

«только деньгам нужна красота, красоте же и денег не надо»

\* \* \*

В стиле Ларошфуко: «Глупость недоверчива».

\* \* \*

Вот клички: в 1955-57 гг. меня называют попросту «Веничка» (Москва), в 1957-58 гг., по мере поселения и повзрсления, – «Венедикт»; в 1959 г. – «Бэн», в 1960 г. – «Бэн», «граф», «сам»; в 1961-62 гг. опять «Венедикт», и с 1963 г. – снова поголовное «Веничка».

\* \* \*

Андре Моруа в книге «Моя родина», в книге, написанной специально для нефранцузов, говорит о Франции со всех сторон и решительно обо всем, кроме музыки.

\* \* \*

Любите безмолвные игры.

\* \* \*

Болван Робеспьер, он почему-то и в атеизме усматривал аристократизм.

\* \* \*

И главное: научить их чтить русскую литературную классику и говорить о ней не иначе, как со склоненной головой. Все, что мы говорим и делаем, а тем более все, что нам предписано «сверху» говорить и делать – все мизерно, смешно и нечисто по сравнению с любой репликой, гримасой или жестом Ее персонажей.

\* \* \*

А интересно, для чего чучмекам надо было устраивать в Ташкенте землетрясение?

\* \* \*

У Чехова повсюду и постоянно герои поют романс «Не говори, что молодость сгубила...»  
Что это такое?

\* \* \*

кремлевские обс-куранты

\* \* \*

Всякие сопливые скептики ей говорят: «Бросьте, дамочка, вот уж третий год как он во гробе, и уж смердеть перестал». А она подошла ко гробу (о, как подошла!) и говорит: «Встань и иди вон». И что ж вы думаете? – встал и пошел.

\* \* \*

Колокольчики, лютики; собираю первые букетики; это развивает чувство тона и пропорции.

\* \* \*

Мой малыш, с букетом полевых цветов, верхом на козе. Возраст 153 дня.

\* \* \*

Во сне переживаю ситуацию, радующую совершенным отсутствием светлого исхода.

\* \* \*

Я успел только пригубить из чаши восторгов, и у меня ее вышибли из рук.

\* \* \*

А то, что я принимал за путеводные звезды, оказалось – потешные огни.

\* \* \*

«Все хляби твои и потоки твои прошли надо мною».

\* \* \*

далась вам эта внутренняя секреция!

\* \* \*

«с точки зрения вечности» и «с точки зрения Фонарного переулка»

\* \* \*

Двенадцатый день не пью, и замечаю, что трезвость так же губительна, как физический труд и свежий воздух. Мелкое наблюдение: я никак не могу вспомнить один редко употребляемый и более крепкий синоним к словам «мракобес», «ретроград», «реакционер», «рутинер» – который уже день не могу вспомнить. Бьюсь об заклад, как только сниму с себя зарюки и выпью первые сто грамм, припомню немедленно.

\* \* \*

Когда он бывает чем-нибудь доволен, его любимая присказка: «Умерла моя старушка у окна».

\* \* \*

Итак, в школах необходимо преподавать: астрологию-алхимию-метафизику-теософию-порнографию-демонологию и основы гомосексуализма. Остальное упразднить.

\* \* \*

А я и спрашиваю: «Ангелы небесные, вы еще не покинули меня?» И ангелы небесные отвечают: «Нет, но скоро».

\* \* \*

Научись скорбеть, а блаженствовать – это и дурак умеет.

\* \* \*

В июне, в Мышине, я все это (и самые тонкие явства, вроде Рильке и Малера) «кушал без аппетита». Теперь очень понятно, что значит «жрать все подряд» – только бы утолить голод. От этого голода (т.е. ни одной мелодии и ни одной стихотворной строчки за полмесяца) – самая естественная слабость, головокружение, «не речивость» и все такое. Если бы я вдруг откуда-нибудь узнал с достоверностью, что во всю жизнь больше не

услышу ничего Шуберта или Малера, это было бы труднее пережить, чем, скажем, смерть матери. Очень серьезно (к вопросу о «пустяках» и «психически сравнимых величинах»).

\* \* \*

«хорошенькое личико в стиле времен регентства»

\* \* \*

И еще женское имя: Галиматъя.

\* \* \*

И при всем том я еще не встречал человека, которого эротическое до такой степени поглощало бы всего.

\* \* \*

Прынец Гамлет, пляшущий матаню.

\* \* \*

В Нотр-Даме бедняга Квазимодо полчаса «с жуткой равномерностью» и изо всех сил бьется головой об стену. И ничего. Потом он садится у двери «в позе, исполненной изумления».

\* \* \*

Грустная песня США: «Отец небесный, заря угасает».

\* \* \*

Невозмутимая истерия, но мне дорого обходится.

\* \* \*

Стыд – лучшее из числа «благородных чувств». Можно завидовать мертвым во многом, но только не в том, что они срама не имут.

\* \* \*

И возражения-то самые смешные: раз Флавий умолчал, значит Нагорная проповедь галиматъя. Иона не мог попасть в чрево кита – значит и все книги пророков.ничего не стоят.

\* \* \*

«с недельку потужить» после кончины

\* \* \*

Популярной в 20-е годы была поварская вегетарианская книга с названием «Я никого не ем».

\* \* \*

Признаки верного благополучия в семье 20-х гг.: герань, гардины, граммофон.

\* \* \*

Любит философствовать, приговаривая: «Кто создал наше тело? – Природа. Она живет и разрушает его каждый день. Кто выпестовал наш дух? – Алкоголь выпестовал наш дух, и так же разрушает и живет его, и так же постоянно».

\* \* \*

наш простой советский сверхчеловек

\* \* \*

«Берегите слезы ваших детей, чтобы они могли пролить их на вашей могиле» (Пифагор).

\* \* \*

он был человек простой и неотесанный, поехал в Горки проветривать мозги и т.п.

\* \* \*

Бонапарт рекомендовал как можно чаще оперировать понятиями, ничего не выражающими и все объясняющими, например «судьба».

\* \* \*

Прежде у людей был оплот. Гусар на саблю опирался, Лютер – на Бога, испанка молодая – на балкон. А где теперь у людей опора?

\* \* \*

Есть языки, в которых вообще нет бранных слов и выражений, тем более нецензурных. У малайцев, например, самое сильное оскорбление и ругательство: «Как тебе не стыдно!»

\* \* \*

А почему я бездельничаю – потому что в калашный ряд только со свиным рылом впускают, а вода только под лежащий камень течет, и т.д.

\* \* \*

И если уж гнаться, то не меньше, как за двумя зайцами.

\* \* \*

У жиды есть искусство и есть торговля. И примесь искусства в коммерции, и примесь коммерции в искусстве.

\* \* \*

«старичок крепкий, как умывальник»

\* \* \*

«Гляжу я на тебя, Тихонов, и думаю: отчего это все великие люди плохо воспитаны?»

\* \* \*

Для чего нам говорить «самолюбие», «тщеславие» и все т.п., когда у нас есть «гордыня», термин точный и освященный новозаветной традицией.

\* \* \*

Атилла, принимая византийское посольство, сидел на троне и выковыривал грязь между пальцами ног.

\* \* \*

Китайцы смеются, сообщая печальные новости – по их понятиям, это выказывает твердость духа и ограждает от выражений сочувствия. Эренбург: Эми Сяо сообщает ему о смерти своей жены – с хохотом.

\* \* \*

Фет-буфет. А у Маяковского даже: Фет-кафе.

\* \* \*

и две коровы: одну назвали Догма, другую – Доктрина

\* \* \*

Конь задохся, как удушенник. Бубенцы осатанели.

\* \* \*

И еще женское имя: Агентура.

\* \* \*

Mutantur tempora. В правлениях совхозов висят портреты патера Менделя. Стаханов, преклонный старик, застрелен в затылок при попытке к бегству ракетой «земля-воздух». Проходимец Лысенко объявлен врагом народа, а Надежда Крупская уличена в лесбиянстве. Мичурин, оказалось, на своем участке в Козловском уезде выполнял задания фашистских агентур. Сыновья удушены. «Чорт» снова пишется через «о», а «весна» через «ять».

\* \* \*

раздроблена нижняя челюсть правой ноги

\* \* \*

Великолепное «все равно». Оно у людей моего пошиба почти постоянно (и поэтому смешна озабоченность всяким вздором). А у них это – только в самые высокие минуты, т.е. в минуты

\* \* \*

крайней скорби, под влиянием крупного потрясения, особой утраты. Это можно было бы развить.

\* \* \*

Во Вьетнаме учрежден вымпел, который вручается подразделению, сбившему самолет противника после доклада Хо в Пхеньяне. Вымпел называется: «По приказу дяди Хо разгромим американских агрессоров».

\* \* \*

У В. Тихонова ни сердца, ни ума, ни постоянства, ни идеи – одно только: индивидуальность.

\* \* \*

А что нам с этих трехсот грамм будет? Мы же гипербореи.

\* \* \*

Это кто тут у вас, Ерофеев, все стреляет? – спрашивает она.

\* \* \*

Это Амур, – отвечаю, – стреляет мне в сердце, жестокая девушка.

\* \* \*

«ни гласа, ни послушания»

\* \* \*

Геббельс, автор неологизмов: «железный занавес» и «трудовой фронт».

отсутствие динамичности в моем характере все потеряно, кроме индивидуальности

\* \* \*

Не любить собак. Любимая собака Гитлера в подzemье имперской канцелярии разделяет его судьбу. Собака-овчарка Блонди. Гитлер в марте 45 г.: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак».

\* \* \*

Солнце останавливали словом. Иоанн Богослов. Первые учебные заведения мира – школы риторики, а не военного дела, не медицины и пр.

\* \* \*

познакомились и согрели

\* \* \*

Байрон говорит, что порядочному человеку нельзя жить более 35 лет, Достоевский говорит: 40.

\* \* \*

А какие имена (не фамилии, а имена)! Лазарь Каганович, Лаврентий Берия, Иосиф Сталин...

\* \* \*

рожа красная, как святые раны Господни

\* \* \*

Мне ненавистен «простой человек», т.е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости и в досуге, в радости и в слезах, в привязанности и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его «простота», наконец... О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую дозу раздражения. Я поседел от того, что в милом старом веке называли попросту «мизантропией».

\* \* \*

стучит казбечиной по пачке «Казбека», гладит пистолет и дует в него, точит нож о голенище – «Ну, так как же, будем говорить?»

\* \* \*

Английские книги по этикету XV-XVI ее. запрещали, во время трапезы, плевать через стол и сморкаться в скатерть.

\* \* \*

понемногу суживать тот круг вещей, над которыми позволительно смеяться

\* \* \*

Мелкая сволочь. Люди вдесятеро сильнее их чувствующие зовут к самообузданию и являют образцы. А эти – не могут!

\* \* \*

Публиций Сир: «Мы начинаем интересоваться людьми, когда видим, что они интересуются нами».

\* \* \*

Вы такой нежный человек, Ерофеев, такой неожиданный. Я буду реветь, когда вы уедете.

\* \* \*

Гете имел привычку принимать королевских особ у себя – во фланелевом халате и в тапочках.

\* \* \*

Колхоз дело добровольное: хошь, не хошь, а вступать надо.

\* \* \*

А вот еще одна моя заслуга: я приучил их ценить в людях еще что-то сверх жизнеспособности.

\* \* \*

Магазины на ул. Пушкина. Соболя и колбасы. Вино, фрукты и диапозитивы.

\* \* \*

«Буря возмущения среди трудящихся Англии»: консерваторы ввели трехдневную рабочую неделю.

\* \* \*

и ограниченность и нормативность

\* \* \*

Сравни их тяжесть и безвыходность и мою, дурацкую. У них завтра зарплата – а сегодня нечего жрать. А у меня ленинградская блокада.

\* \* \*

А Тихонов бы все напутал. Он в Афинах был бы Брут, а в Риме – Периклес.

\* \* \*

Т.е. виною молчания еще и постоянное отсутствие одиночества; стены закрытых кабин мужских туалетов исписаны все, снизу доверху. В открытых – ни строчки.

\* \* \*

гарнизонным языком и походкою

\* \* \*

Эпикур, в письме к Менелая, свое знаменитое: «Благодарение Божественной натуре за то,

\* \* \*

что она нужное сделала нетрудным, а трудное – ненужным».

\* \* \*

Мистика всегда шла бок о бок с половой распущенностью.

\* \* \*

«Гибельные следствия полуфилософии» (Карамзин).

\* \* \*

Библейское: «И только печаль утоляет сердца».

\* \* \*

Ввели новый термин: «бессильный гуманизм». Да и всякий гуманизм бессилён. Да здравствует бессильный гуманизм!

\* \* \*

«Вместо полноценного шизофреника с агрессивными наклонностями – ему подсунули заурядного болвана без всяких бредовых снов и аномалий»

\* \* \*

«за кровавую блажь нескольких параноиков должна платить вся нация»

\* \* \*

Вот и Христос: «тут же разрушу храм и в три дня его построю». Почему же в три, если он мог и в одно мгновение? Так убедительнее для обывателя.

\* \* \*

соитие страстотерпца с великомученицей

\* \* \*

Они работают, ну и пусть работают. Это очень мило с их стороны.

\* \* \*

«обморочным ощущением отчаяния»

\* \* \*

На всей земле нет более скучного умом человека.

\* \* \*

Ото всего этого несет непоправимостью.

\* \* \*

У него зато душа грамотная, душа – с высшим образованием.

\* \* \*

«Мир – результат самоограничения Бога» (Л. Карсавин).

\* \* \*

Не забывать о главном: трогательность.

\* \* \*

Одну руку вложил в другую и сделал так подряд несколько стахановских движений.

\* \* \*

Следует вести себя удовлетворительно. Отлично себя вести – нехорошо и греховно.

\* \* \*

И в самом деле (где-то у Шварца): если бы Франц Моор пришел в театр смотреть «Разбойников», он болел бы за Карла Моора.

\* \* \*

Св. Филипп, в мире Феодор: «Не разлучай меня с моей пустыней».

\* \* \*

Альбер Камю «примыкал к модернистскому направлению так называемого героического пессимизма».

\* \* \*

У него: «из столкновения человеческого разума и безрассудного молчания мира рождается абсурд».

\* \* \*

Восстановить эту параллель пьющих и непьющих: Христос – Магомет; Дантон – Робеспьер; Геринг – Адольф; Есенин – Маяковский

\* \* \*

По примеру языка нести коммуникативную функцию.

\* \* \*

«Сорокин тем лучше Тихонова, что, когда выпьет, не говорит умных вещей».

\* \* \*

женщина неограниченных возможностей

\* \* \*

бесстыдство помыслов

\* \* \*

пукать надо чуть картаво, с еврейским акцентом

\* \* \*

«ангел ты мой поднебесный»

\* \* \*

«Превыше всего – забота о сохранении собственного достоинства» (Цезарь у Саллюстия).

\* \* \*

Самые часто упоминаемые фамилии по заморским радиостанциям: Пиночет, Попадопулос, Померанц.

\* \* \*

Протопоп у Лескова: «Мечтателю подобает говорить бестолково».

\* \* \*

«Эта работа тем более подходила мне (работа историка), что я был свободен от надежд, от страха и от духа партийности».

\* \* \*

Человек внезапный. А у меня нет никакого вкуса к этим внезапностям

\* \* \*

«искалеченных правильной жизнью»

\* \* \*

и одесситская манера выражаться: «Не доводите человека до крайности» и «Наплюйте мне в очи».

\* \* \*

«мы восприняли это как оскорбление нашей мечты»

\* \* \*

«Нет, товарищи, так мы счастья не достигнем!»

\* \* \*

«По библейским понятиям, она была проклята Богом отныне и до века».

\* \* \*

«такой нечаянный и огромный душевный покой (отсутствие самых ничтожных тревог), по словам людей суеверных, никогда не остается безнаказанным»

\* \* \*

«одиночество, близкое к состоянию безмолвного душевного подъема»

\* \* \*

«щемящие сердце взаимоотношения»

\* \* \*

«у меня было какое-то важное дело на душе»

\* \* \*

Ср. Сто дней Наполеона и Сто дней Магеллана.

\* \* \*

«Поник я буйной головой, Погибли идеалы».

(Некрасов)

\* \* \*

Короткие мысли: «Любови цыганской короче», как говорил Блок.

\* \* \*

На левую ногу я надел ботинок без носка, на правую – только носок. Пусть все видят, что я взволнован.

\* \* \*

Сходится клином земля, с овчинку кажется небо.

\* \* \*

Это происходит и по вине людей и по Божьему попущению.

\* \* \*

он щекотал под мышками эту великомученицу

\* \* \*

Эпоха великих порнографических открытий

\* \* \*

Солженицын не потому интересен, что о нем много трезвонят. Ср. например, шумы в местах радио «Свобода». Мы вслушиваемся не потому.

\* \* \*

«хорошо образованную душу и хорошо устроенные члены» (у Коменского).

\* \* \*

«кто хочет, пусть думает иначе»

\* \* \*

«Здесь никогда не бывает благодатных времен года»

\* \* \*

дегенеральный секретарь

\* \* \*

«Это может доставить удовольствие только извращенному сердцу».

\* \* \*

Романс Ипполитова-Иванова: «О, запах померанцев!»

\* \* \*

Глупая радиостанция «Свобода», она выбирает для трансляций на Союз как раз те волны, на которых больше всего шума – нет бы сместиться влево или вправо.

\* \* \*

Любить Родину беззаветно – это примерно значит: покупать на все свои деньги одни только лотерейные билеты, оставляя себе только на соль и хлеб. И не проверять их.

\* \* \*

Никсон попросил Голду Мейр занять более гибкую позицию.

\* \* \*

Уйди, противный, а не то я тебя убью из револьвера.

\* \* \*

«Распускайте Думу, но не трогайте Конституцию» (Столыпин).

\* \* \*

«таил в себе сокровища эгоизма и эпикурейских склонностей» (П. Анненков).

\* \* \*

Вот у Некрасова изображение горя: «Соленых рыжиков не ест, И чай ему не пьется».

\* \* \*

«Что мне в ваших рукоплесканиях?» (Иоанн Златоуст).

\* \* \*

До победного конца. Т.е. или Садат пополам, или Мейр вдребезги.

\* \* \*

«там есть орхидея, прекрасная, как семь смертных грехов»

\* \* \*

«заражен чужеземными взглядами»

\* \* \*

«Обожаю простые удовольствия. Это последнее прибежище сложных натур».

\* \* \*

«Идеальный человек. Но жаль, что пьянствует» (Чехов о Горьком).

\* \* \*

Мы так и не прикоснулись друг к другу, я чмокнул ее в запястье, правда, а через полгода она родила пухлую девочку с голубыми глазами.

\* \* \*

Чета Апухтин – Чайковский. Продлить и заподозрить: Рождественский – Таривердиев.

\* \* \*

Дуры песни поют, а дурак все горит, разгорается.

\* \* \*

Князь Вяземский советует иметь по русскому часовому при каждом поляке.

\* \* \*

«и раздвояется сердце человека»

\* \* \*

«Не родись красивой», как сказал Андрей Эшпай.

\* \* \*

И посылает нам искушения, чтобы удостовериться, насколько мы усовершенствовались.

\* \* \*

«Я христианин и не подобает мне кланяться твари» (А. Невский).

\* \* \*

«махровые головки» у цветов (русская поэзия)

\* \* \*

Жандармский генерал-майор Глоба телеграфирует в Петербург директору Департамента Полиции: «Астапово полное спокойствие. Население относится безучастно к участи графа Толстого».

\* \* \*

Графу Толстому, за 3 дня до кончины, для поддержания деятельности сердца дают коньяк.

\* \* \*

«Счастлив тот, кого смерть застигнет за подобным занятием» (Эразм Роттердамский).

\* \* \*

Он все путает Андре Жида с Андреем Ждановым. Леконта де Лиля с Руже де Лилем и Мусой Джалилем. Бук с бамбуком.

\* \* \*

вела себя естественно и позорно

\* \* \*

Жители острова Гельголанд желают друг другу в Новый год не здоровья, не удачи, а «спокойного сердца».

\* \* \*

«Иногда, хоть и редко, свежевыпущенная моча светится фосфорическим светом; причина фосфоресценции еще не выяснена» (проф. Бок).

\* \* \*

я упал в обморок, но не показал и виду

\* \* \*

Не замечать за собой ничего дурного.

\* \* \*

Пусть левая твоя ноздря не ведает, куда сморкнулась правая.

\* \* \*

Что в этом случае сказал бы псалмопевец? Он ничего бы не сказал.

\* \* \*

Выпью еще стакан солнцедара, закушу луковицей и буду славить моего Господа.

\* \* \*

Щербина говорил о русских:

«Мы – европейские слова

И – азиатские поступки».

\* \* \*

во Владимирской области, «заколдованной области плача»

\* \* \*

Не возьму моральной потери, но и подставлять левую щеку потом не буду. Попробую забыть и «перестрадать». Пусть левая твоя щека не ведает, что тебя съездили по правой.

\* \* \*

параноик «с византийским уклоном»

\* \* \*

в скоморошьем расположении духа в дидактическом, менторском etc.

\* \* \*

свежа, как предание

\* \* \*

«Прости меня, благородное животное».

\* \* \*

Опять о животных. Столкновение со стадом кабанов... Когда Господь прибирает нас к рукам, против этого нечего возразить. Когда человек – это еще куда ни шло. Но – эти... etc.

\* \* \*

«в этих стихах слышится вызов небосводу»

\* \* \*

нации, скопом, вымирают от угрызений совести

\* \* \*

Конституция должна гарантировать человеку право на галлюцинацию и «перманентную угнетенность».

\* \* \*

Сколько среди персонажей русской беллетристики XIX самоубийц– больше, чем было в действительности. Ср. в XX – повальные самоубийства, а ни один почти персонаж не покончил с собой.

\* \* \*

И не забывать о своем диаспорическом родстве с иудеями.

\* \* \*

Ключевский: «гальванистические подергивания мозгами».

\* \* \*

Какого им еще мессию? И что он сможет добавить к тому, что тот уже сказал? Этот, ихний, будет молчать и заниматься судопроизводством.

\* \* \*

Еще женское имя: Прокуратура (просто Прошка).

\* \* \*

«Между нами зияла метафизическая бездна» Сослан в Тулу за гомосексуализм.

\* \* \*

морганатический (т.е. тайный) брак скреплен симпатическими чернилами.

\* \* \*

Этого глупца даже удобно держать у себя в квартире: он поглощает углекислоту и выделяет чистый кислород.

\* \* \*

Хотел ее пощупать, но это вызвало бы большой международный резонанс.

\* \* \*

Установить для Мельниковой, был ли Дантес евреем, она мне за это полтинник даст.

\* \* \*

Черный сентябрь. Под угрозой парабеллума направить автобус с детишками куда-нибудь. Дорогой выбрасывать трупы первоклассников и цветы.

\* \* \*

рукотворный, т.е. ману-фактурный

\* \* \*

Если в граммах считать, я больше пролил слез, чем Боря водки выпил.

\* \* \*

И Сергей Михалков, одержимый холопским недугом.

\* \* \*

До чего дошло дело: передачи по радио для любителей русского языка: «Труженики-суффиксы и работяги-приставки».

\* \* \*

А в одиночестве он занят непотребством, вместо того чтоб откровенно беседовать с Богом.

\* \* \*

Еще замысел: если меня сейчас остановят и спросят (вздор какой-нибудь), я отвечу (невпопад). Если догонят, возьмут за локоть и спросят (опять вздор), я уберу локоть и ничего не отвечу. И т.д.

\* \* \*

«романтическая причуда» – прежде чем уничтожить человека, обрезать у него уши

\* \* \*

О степенях взволнованности: у Ахматовой перчатку с левой руки надевают на правую руку. У Самуила Маршака те же перчатки уже надевают вместо валенок.

\* \* \*

Лучшее назначение перчаток у «полноценных» людей. Герой Жуковского швыряет ее даме сердца в ебало. Герои Лермонтова – кидают ее оскорбителям, требуя сатисфакции. Герой Льва Толстого лайковой перчаткой лупит татарина по зубам.

\* \* \*

всеобъемлюще, незыблемо и достоверно

\* \* \*

Не умер, а «ушел за грань земного кругозора».

\* \* \*

Старик Петруша: «А сегодня вот что снилось: сижу я на завалинке, курю, и вдруг мне глас с неба: брось курить, Петруша, а то умрешь».

\* \* \*

Европе нужен бык, быку нужна Европа. Ткацкая фабрика имени Пенелопы.

\* \* \*

Все то, что можно короче назвать собирательным именем «муки транзита». Надо только уметь подкараулить это в себе и облечь в более или менее зловонную форму.

\* \* \*

изысканное  
гиацинты  
грезы  
па-де-труа  
левкои  
протуберозы  
любовники  
жюрфикс  
грациозно

фильдекос  
богиня  
фиал  
сладостный илот  
маминька  
лирический вздох  
гармония  
Сайта Мария Новель  
вульгарное  
хлебные карточки  
жилотдел  
казенные портянки  
маргарин  
подоходный налог  
ливерная колбаса  
солдат  
туберкулезный диспансер  
«попердывал»  
автобаза  
младший сержант  
Дашка  
совнархоз  
понос  
санпропускник  
завскладом

\* \* \*

Смрадные и грешные отверстия ниже пупа на мне слишком много вериг

\* \* \*

О русских и прочих песнях. Русские продиктованы тем или иным видом опьянения, тоскливого или бесшабашного. А песни типа: «Под горою, под сосною спать уложите вы меня» – в состоянии похмелья, наутро.

Ср. итальянские: «Купите фиалки, они недорого стоят».

Ср. украинские: «Я не пойду за тебя, у тебя нет хаты» и пр.

\* \* \*

Кстати, об Иоганне Штраусе. Проститутки у Чехова, Куприна, Горького etc. от него без ума, то есть именно от него: см. у Горького в рассказе «Отомстил»: «У него неравный звук. В его музыке звучит нега и страсть».

\* \* \*

Вот чем (арифметически) измерять моральную ценность индивида: длительностью реакции на эквивалентное ранение.

\* \* \*

Тертуллиан и его знаменитое «душа человеческая есть по природе своей христианка».

\* \* \*

Розанов: «Душа человеческая по природе своей язычница, которой, чтоб воспитаться христианкою, нужно пройти через тесные врата бесчисленных отречений».

\* \* \*

В «Правде» 37 г. статья «Колхозное спасибо Ежову».

\* \* \*

Советская власть стала взрослеть тоже на 37-м году.

\* \* \*

мальчик величиной в 5 лютиков, в 2 одуванчика

\* \* \*

Не говори с тоской «не пьем»,  
Но с благодарностию «пили».

\* \* \*

французские композиторы на М: Манто – Маникюр – Манекен – Медальон – Меню

\* \* \*

Лишить нашу Родину-мать ее материнских прав.

\* \* \*

Любить тебя или наоборот? Т.е. перед тобою пуд соли и тебя терзает: съесть с тобою этот пуд или высыпать его тебе куда нибудь.

\* \* \*

«невозмутимо и безжалостно совершил свое черное дело»

\* \* \*

выебончик с надрывчиком

\* \* \*

Как у тургеневских девушек – страсть к чему-то нездешнему, зыбкому, к чему-то коленно-локтевому.

\* \* \*

инакопишущие

\* \* \*

беспутства хватило бы на 10 гениев

\* \* \*

У меня нет адресов, у меня только явки.

\* \* \*

На столе сервированы были болгарские духи с водой из унитаза.

\* \* \*

Народные заговоры и средства:

1. От зубной боли. Стиснув во рту корень лесной земляники, задушить двумя пальцами крота.
2. Все почти заговоры начинаются так: «Лягу я, раб Божий, и, помолясь, встану, благословясь, умоюсь я росой, утрусь престольной пеленою, пойду я из дверей в двери, из ворот в ворота, в июле и скажу... (что-нибудь ляпнуть)».

\* \* \*

и трепетная, как реальность

\* \* \*

Мартин Бубер: «Чувство времени у евреев развито намного сильнее, чем чувство пространства: красочные эпитеты Библии говорят – в противоположность, например, гомеровским – не о форме и цвете, а о звуке и движении».

\* \* \*

Снять с него штаны и избить по пяткам дирижерской палочкой.

\* \* \*

От любви к Родине: расстройство чувств, нарушение координации, дрожь в руках, в висках боли.

\* \* \*

Я бесил их своим бессилием.

\* \* \*

и преуспела на поприще бессловесности

\* \* \*

Из всех слов женского рода это слово претерпело наибольшую девальвацию

\* \* \*

Ну, конечно, зачем ему знать латинские глаголы и спряжения, когда ему «ведомы глаголы вечной жизни».

\* \* \*

Не будем обижаться, не будем издеваться, А будем обнажаться, а будем раздеваться.

\* \* \*

вместо «плащ» говорить «гиматий»

\* \* \*

«книга, полная романтических измышлений»

\* \* \*

музыка балетно-дивертисментного характера

\* \* \*

«Она (христианская религия) всегда оставалась в Советской России самой значительной альтернативой большевистской идеологии».

\* \* \*

А в ответ на это сказать какую-нибудь гадость, например: «Служу Советскому Союзу».

\* \* \*

Фрейд: «Удовлетворять свои сексуальные импульсы гетеро-сексуальным путем».

\* \* \*

обед: опоссум с бататами

\* \* \*

В. те дни, когда твоя осанна проходила через горнила.

\* \* \*

В поваренной книге определение того, что такое гювеч – болгарское национальное кушанье из мяса, риса и овощей, которое может быть без мяса, и без риса, и без овощей.

\* \* \*

«спивается от неосуществившихся амбиций»

\* \* \*

«Делая букет, надо в душе поговорить с цветком» (5-е правило из «50 – и заповедей икебаны»).

\* \* \*

Музыка хороша в высшей мере и не исполнена, а приведена в исполнение.

\* \* \*

Дон Гуан говорит Командору: Я чай пью – приходи ко мне чай пить – только со своим сахаром.

\* \* \*

баба должна быть безгневною

\* \* \*

«Твои глаза от этого синеют»  
(П. Б. Шелли).

\* \* \*

Они боятся вредного. «Это вредно». Вредно сдерживать в себе газы. Вредно сообща прикладываться к одному кресту.

\* \* \*

не «пока живу», а «дондеже есмь»

\* \* \*

Всё пусть. «Пусть скачет жених, не доскачет». «Пусть неудачник плачет».

\* \* \*

Так и умру, не научившись свистеть. Так и не свистнув ни разу.

\* \* \*

Может обойтись без всех тот, кто в себя погружен.

\* \* \*

«Только питьё держит в равновесии тело и душу» (Г. Белль).

\* \* \*

У Горбунова: «Кто-то кричит и тонет. Чья-то душа Богу понадобилась».

\* \* \*

«Перед великим умом я склоняю голову, – сказал пошляк Гете. – Перед великим сердцем – колени».

\* \* \*

Родилась тогда-то. И была со мной каждый день. А потом куда-то делась, я не знаю куда.

\* \* \*

Это, можно сказать, не просто хорошая проза, а вкусная и здоровая пища.

\* \* \*

«У лиц с пониженным или отсутствующим этическим чувством».

\* \* \*

В этом, конечно, есть своя правда, но это комсомольская правда.

\* \* \*

Хорошие сравнения у Гейне: как говорили о евреях, распявших Христа, так и в год знаменитого восстания в Сан-Доминго чернокожих: «Белые убили Христа! Перебьем всех белых!»

\* \* \*

Слово «социализм» изобрел в 1834 г. Пьер Леру.

\* \* \*

174 года со дня изобретения Карамзиным слова «впечатление».

\* \* \*

и ненависть к людям исполинского духа, где бы он ни проявлялся

\* \* \*

«Однажды Бог явился мне и сотворил чудо», как сказала Юлия Шмуклер.

\* \* \*

недемократические привычки, например, мыть руки перед едой

\* \* \*

Адам из мягкой глины, а Ева из твердого ребра.

\* \* \*

проговорили ночь о первопричине всех явлений

\* \* \*

мечта о благосостоянии в прямом, а не в карманном смысле слова

\* \* \*

вольный каменщик на богостроительстве

\* \* \*

Любой донос хуже, чем тысяча плохо сделанных порнографических открыток. Любой дон-хуанов список лучше, чем самый лучший проскрипционный.

\* \* \*

«Она мечтала уйти из мира, где отсутствует замысел».

\* \* \*

Прощай. Веревку и мыло я найду.

\* \* \*

Гроза-то мелкая-мелкая. Гроза Николая Островского.

\* \* \*

С таким грузом добросовестности можно ли жить?

\* \* \*

У Гейне: «Только дурные и пошлые натуры выигрывают от революции. Но удалась революция или потерпела поражение, люди с большим сердцем всегда будут ее жертвами».

\* \* \*

И этот хронический гамлетизм, хотя я не убил ни одного отца ни одной из своих невест, и мама моя не выскакивала замуж за убийцу моего папы.

\* \* \*

Королева изящества и рыцарь мечты. Барышня и хулиган. Подлец и проститутка.

\* \* \*

«Чувство юмора» (так называемое), доведенное до масштабов мепистофелевщины. И дурак Фауст с его прожектами, и оскорбленная девка, Мепистофель на случай «великого

преобразования природы» удаляется на Брокен плясать с голыми ведьмами, и ни одна баба от него не накладывала рук.

\* \* \*

«в тихий край медлительных движений и медлительных улыбок»

\* \* \*

Взрыв в Хиросиме и единственное существо, выразившее протест, – Римский Папа.

\* \* \*

К вопросу о «больше пролил слез», чем и т.д. У меня больше грязных мыслей в голове, чем грязных волос на ней и т.д.

\* \* \*

«подкрепляя достоверность своих слов ссылками на Талмуд»

\* \* \*

Манера письма должна быть чрезвычайной, а интонация – полномочной.

\* \* \*

Если б в 45 г. мы двинули бы дальше на Запад, дошли до самых западных штатов США, то по типу Суворов-Рымникский, Потемкин-Таврический, Дибич-Забалканский, маршал Жуков звался бы Жуков-Колорадский.

\* \* \*

Когда Господь глядит на человека, он вдыхает в него хоть чего-нибудь. А тут он выдохнул.

\* \* \*

Не надо ничего, кроме соединения крайней бестактности с крайней неповерхностью. Величайший образец – Иисус. Верх глубинностей и вершина бестактностей.

\* \* \*

«крайне жизнеспособная посредственность»

\* \* \*

Служить не катализатором, не ферментом даже, а просто антифризом.

\* \* \*

Надо еще подумать, для каких целей в 40-х годах Господь обделил нас поражением

\* \* \*

Ну, да что говорить, все зависит от душенастроения. Вот и наш портвейн народ зовет иногда пренебрежительно бормотуха, а иногда ласково портवेशок.

\* \* \*

Если б меня спросили: как ты вообще относишься к жизни, я примерно ответил бы: нерадиво.

\* \* \*

А веселиться я не люблю. Я человек бесшалостный.

\* \* \*

Ну, конечно же, буду более или менее весело и бессовестно врать. Ложь, только ложь, и ничего кроме лжи.

\* \* \*

В високосный год надо, чтобы водка стоила 3.66.

\* \* \*

А вот Хомейни. Они поступают как Магомет, и торжествуют потому. Кто бы в Европе рискнул бы поступить а 1а Иисус?

\* \* \*

До чего же разные: эти почитают грехом спутать Ишуя с Абессаломом, а те – перепутать Белу Руденко с Евгенией Мирошниченко.

\* \* \*

Кто это говорил, что деревья – это всего-навсего недорезанные бревна?

\* \* \*

И два взгляда на вещи: точный и восточный.

\* \* \*

Ведь блядь блядью, а выглядит как экваториальное созвездие.

\* \* \*

Писал себе письма, похерив гордость мужскую, говорил о любви, просил перемениться. И пр. И сам себе, из девичьей гордости, не отвечал.

\* \* \*

Урожай был получен не ниже, чем в прошлом году, несмотря на то, что в этом году погодные условия были таковы, что обусловили некоторое снижение урожая ввиду неблагоприятных погодных условий.

\* \* \*

«вот рассмотрите сами внимательно Вашу душу»

\* \* \*

очень невоющий образ мыслей, так что подозрительно

\* \* \*

Самое милое из именовании партии: правящая с этого года в Канаде прогрессивно-консервативная партия.

\* \* \*

Спросят, кем работаешь, скажи первое, что в голову подвернется, например так: энергетиком Нурекской ГЭС.

\* \* \*

Вернее, не так. На вопрос: кем работаешь, отвечать: энергетиком Нурекской ГЭС и по совместительству узурпатором.

\* \* \*

надо так и говорить: «в лето Господне 1972-е» и т.д.

\* \* \*

И у них, у этих девушек, в душе что-то такое большое-большое, неразрешимое-неразрешимое, как проблема иранского Курдистана.

\* \* \*

Да ну, чепуха, так просто. Чтобы чаще Господь замечал.

\* \* \*

Да и брамины говорят: «Религия должна состоять не в соблюдении внешнего культа, а в том, чтобы служить ей каждым своим дыханием».

\* \* \*

и все дела-то у меня такие, мокрые, от слезы

\* \* \*

«эволюция к более возвышенному воззрению»

\* \* \*

А Кант вот что сказал: «Истинная нравственность поступков (заслуга и виновность) даже наших собственных остается навсегда совершенно скрытой от нас».

\* \* \*

Балаганный взгляд их на нашу словесность. В какой-то державе симпозиум: Войнович и Ерофеев. Пьеро и Арлекин. И пр.

\* \* \*

Ну, короче, все то, но немножко не так, и подозрительно оттого. Как у героя 70-х гг. Ипполита Мышкина: аксельбант не на том плече.

\* \* \*

«Стальная птица» и пр. у Аксенова. Пустые шти хлебают мельхиоровыми ложками.

\* \* \*

Мои познания в альпинизме ограничены только тем, что «народному вождю Красной Армии» в сказочно далекой Мексике раскроили череп альпинистским ледорубом.

\* \* \*

так же скучно, как делить человечество на две категории: брахицефалов и долихоцефалов

\* \* \*

Я оптимистично гляжу на мой народ: Количество подбитых женских глаз все-таки больше, чем количество доносов женских.

\* \* \*

души прекрасные надрывы

\* \* \*

сидит такая ликующая, праздно болтающая

\* \* \*

беспольное ископаемое, вот кто я

\* \* \*

Зин. Гиппиус говорила о повороте русской поэзии (и не только) от «понятного о понятном» к «непонятному о непонятном».

\* \* \*

спец по части религиозных наитий

\* \* \*

Погоди, я приеду позднее, тов. Суркин будет делать двухчасовой доклад о существовании человека.

\* \* \*

К вопросу о русской необгонимой тройке. Март 1953 г.: «Динь-динь-динь, и тройка встала, Ямщик прыгнул с облучка».

\* \* \*

Я на мир не смотрю, я глазею на него.

\* \* \*

Помолчи, не проникай, я сам знаю свои сроки, не вводи свои танки в мой Кабул.

\* \* \*

Любопытные сведения из последней русской истории: в 1932 г. была объявлена «безбожная пятилетка», планировалось к 1936 г. закрыть последнюю церковь, а к 1937 г. – добиться того, чтобы имя Бога в нашей стране не произносилось.

\* \* \*

А вот Михаил Евграфович говорил, что если хоть на минуту замолчит литература, то это будет равносильно смерти народа.

\* \* \*

достойно только восхищения и ничего больше Мне уже по вкусу бедные, но опрятные стихи.

\* \* \*

И набожность должна быть одаренной – а у него она и не глубока, и упряма.

\* \* \*

Ну, немножко покаянствуешь, немножко подушегубствуешь.

\* \* \*

Стороны той государь, Генеральный секретарь.

\* \* \*

Красота моя с ума меня свела.

\* \* \*

«пустота, которая утешает и морочит себя подвижностью»

\* \* \*

А на прощанье – шаль с каймою  
И что-нибудь еще – стяни.

\* \* \*

«Я сказать тебе не смею,  
Что давно тобою тлею,  
От твоих прекрасных глаз  
И от пламенных зараз».  
(Ермил Костров)

\* \* \*

Громадная ода Клушина, с заголовком: «Благодарность Екатерине Великой за всемилостивейшее увольнение меня в чужие края с жалованьем».

\* \* \*

Контрреволюции не делаются в перчатках.

\* \* \*

Почему британцы все это должны делать за нас: Орвелл, Конквест, Кестлер и др.

\* \* \*

А все, что загадка, то гадко.

\* \* \*

в чем-то соглашаюсь с Вильямом Шекспиром, но кое в чем и нет.

\* \* \*

Нонешний русский патриарх выступает с заявлениями типа «Все советские люди должны сплотиться вокруг...» или «Долой конфронтацию! Да здравствует детант!»

\* \* \*

А я на них (на православных) гляжу флегматично, как на декабристов-диссидентов барон Дельвиг.

\* \* \*

Я третий день шел в пятый класс школы, когда русские испытали атомную бомбу. 3 сентября 1949 г.

\* \* \*

Говорить о ней, как по радио говорят о каком-то агрегате: отличается большой маневренностью и высокой проходимостью.

\* \* \*

Человек это звучит горько (просто сорвалось).

\* \* \*

А генерал Людендорф в 29 г.: «истинные германцы не могут быть христианами».

\* \* \*

Нужно долго мучиться,  
И тогда получится.  
(Советская песня)

\* \* \*

«Покажи мне Бога», – сказал некогда атеист христианскому мудрецу Феофилу Александрийскому. «Прежде покажи мне человека в себе, способного увидеть Бога», – ответил Феофил Александрийский.

\* \* \*

Или начать так: «Я очень баб люблю, они смешные и умные».

\* \* \*

Ах, зачем я не птица, не синяя птица? Помолчал бы уж, старый вахлак.

\* \* \*

выражает стиль не столь низменного, сколь неизменного народа

\* \* \*

Сидит, надулся, как какой-нибудь Буонаротти.

\* \* \*

вечером – неусыпный, утром – беспробудный

\* \* \*

«Мне, конечно, трудно сравниваться с передовыми доярками».

\* \* \*

ты просто вписался в полукультуру.

\* \* \*

Даже когда их много, я к ним ко всем вместе обращаюсь на «ты».

\* \* \*

Меланхолия ищет несчастье и фиксируется на нем.

\* \* \*

«умудренный знанием грусти»

\* \* \*

Нежность серьезная, без сюсюканья, без слащавости, без причитаний, даже без излишней ласковости.

\* \* \*

Это такое страдание, что и смотреть на это было жестокостью.

\* \* \*

Между прочим, самая милая из современных русских песен: «...я с каждой елочкой знакоплюсь за руку...» и т.д.

\* \* \*

Ж. П. Сартр: сахарная болезнь и самопроизвольная дефекация – болезни русского социализма времен диктата Иосифа.

\* \* \*

Я в последнее время занят исключительно прослушиванием и продумыванием музыки. Это не обогащает интеллекта и не прибавляет никаких позитивных знаний. Но, возвышая, затемняет «ум и сердце», делая их непроницаемыми ни снаружи, ни изнутри.

\* \* \*

Если «да», то «да». Если «нет», то «нет». Что сверх того – то музыка.

\* \* \*

Орфея и Фауста роднит то, что оба они заклинатели царства теней.

\* \* \*

Человек, запятнавший себя сделкой с дьяволом, опознается после смерти: на смертном одре вы увидите его лежащим лицом вниз, и хоть пятикратно его перевернете, все равно так он и останется.

\* \* \*

заклучившие союз с чертом могут еще спасти свою душу путем принесения в жертву тела – т.е. самоубийством.

\* \* \*

обходительная музыкальная манера это возвышает меня, но не стимулирует не попутно, а мимоходом

\* \* \*

В 10-х гг. этого века сочинения Зигмунда Фрейда были внесены в «Индекс запрещенных книг». (См. Фрейд: «религия – иллюзия без будущего».)

\* \* \*

греховный потенциал человека

\* \* \*

Искусство теперь завязло, отяжелело и само глумится над собой.

\* \* \*

он стонет и сознается уже на допросах «с малым пристратием».

\* \* \*

Эта колыбельная мелодия так же смахивает на траурную, как – еще Манн заметил – немецкая зыбка смахивает на катафалк.

\* \* \*

необъятность сферы банального

\* \* \*

ощущение своей социальной второстепенности.

\* \* \*

Но так как виновны мы, наш вопль повисает в воздухе и, подобно молитве короля Клавдия, «не достигает неба».

\* \* \*

Это гибель, озаряющая небосвод багровыми сумерками богов.

\* \* \*

Что лучше: дремать или следовать за ложными пророками?

\* \* \*

Не исследование, а мечтательное умствование.

\* \* \*

Сравнить превращение бесцветной мелодии в более терпкую и приятную с превращением воды в вино в кувшинах Галилейской Каны.

\* \* \*

Я овладевал ею по мере того, как она мной овладевала.

\* \* \*

Раньше привораживали мазью, сделанной из жира умершего некрещеного младенца.

\* \* \*

временное приобщение к сельскому примитиву

\* \* \*

Для того чтоб посвятить себя музыке, нужны известные душевные предпосылки, в которых ему отказано природой.

\* \* \*

он страдал от чрезмерно развитого чувства комического

\* \* \*

средневековая грехобязнь

\* \* \*

Мир вступает под новые, еще безымянные созвездия.

\* \* \*

здесь слышатся короткие резкие удары, как звон пощечин по лицу Спасителя

\* \* \*

На 27-м году жизни, наконец, научили понимать Шопена и женские партии Римского-Корсакова.

\* \* \*

моя привязанность к сфере словесно-гуманитарной

\* \* \*

Женщину красит заурядность.

\* \* \*

В первой части оркестр был настолько взволнован, что на протяжении второй он никак не может отдышаться.

\* \* \*

крупным планом подаются, без связи и разбора, отрывчатые «пороссячи триоли» и только на задворках их блуждает где-то нищая, бледная, одичалая мелодия

\* \* \*

О 3-м квартете Бартока: у него очень много есть что сказать, он захлебывается от обилия мыслей, сбивается, начинает все сначала, путается снова и заключительным аккордом махает рукой – э-э-э, мол, все не то, все не то.

\* \* \*

адмирал своему барабанщику: сыграй мне что-нибудь меланхолическое

\* \* \*

Ср. Кодан, соната для виолончели и фортепиано. Виолончель изнемогает от эротических томлений, а фортепиано слушает ее с холодной невнимательностью и иногда, в знак участия рассказчице, кивает ей четкими ударами, почти всегда впопад.

\* \* \*

В 1-й части он храбрится и шутит, во 2-й слюнтяй и нюня и мочится на пол, как маленький.

\* \* \*

Самозабвенное неистовство шахсей-вахсея сменяется угрызениями совести *pianissimo* – зрителям представляется возможность высморкаться и почесать пузо.

\* \* \*

Честно задуманная музыка и не без хороших манер.

\* \* \*

расстрелян по подозрению в эстетстве

\* \* \*

И что такое вообще йоги и что это за властвование их над своим организмом? Они могут только поставить себе клизму и то так изощренно, что она им не помогает.

\* \* \*

Неважно, на кого сколько отпущено строк, это случайность. У Пушкина в «Суровом Данте» на Сурового Данта – 1 строка, по одной на Петрарку, Шекспира и Камюэнса, по три на певца Любви и барона Дельвига – и целых четыре Уильяму Вордсворту.

\* \* \*

Мари Шарль Фердинанд Вальсен Эстерга-зи – вот как звали того французского офицера, который выдал германскому генштабу секреты. А не Альфред Дрейфус. Вечно вы все валите на евреев.

\* \* \*

Не вино и не бабы сгубили молодость мою. Но подмосковные электропоезда ее сгубили. И телефонные будки.

\* \* \*

Поль Валери: «Из истории можно извлечь лишь склонность к шовинизму. Никаких уроков извлечь нельзя».

\* \* \*

Мой путь саморастрачивания ничуть не хуже и не лучше других. «Что есть польза?» – спросил бы прокуратор Понтий Пилат.

\* \* \*

И почему Василиса должна уходить к Иванушке, если ей и с Кашеем хорошо?

\* \* \*

Милые характеристики: «Чистый ариец. Характер нордический. Спортсмен. Неуклонно выполняет свой долг».

\* \* \*

В будущем году спрыснуть 150-летие великого наводнения в Петербурге – 7 ноября 1824 г.

\* \* \*

Чаадаев по поводу этого наводнения и по всем подобным поводам: «Первое наше правило должно быть не избегать беды, а не заслуживать ее».

\* \* \*

Вот, еще один вид непредвиденности и смерти. Оса в бутылке красного вина – укус в горло и смерть от удушья.

\* \* \*

Вот вам Мао: «Война необходима, etc. Если даже половина государств будет уничтожена, то еще останется половина, зато империализм будет полностью уничтожен, и во всем мире будет лишь социализм. А за полвека население опять вырастет, даже больше, чем наполовину» (на совещании в Москве коммунистических и рабочих партий, 1957 г.).

\* \* \*

в самом плачевном смысле этих слов

\* \* \*

«Я с детства не любил вокзал,  
Я с детства виллу рисовал».

\* \* \*

«Стала пухнуть прекрасная Елена».  
(Песни западных славян)

\* \* \*

Могут приобретать, как говорят лингвисты, модальные оттенки.

\* \* \*

истина, поданная в денатурированном виде

\* \* \*

Возведение дружеских связей и бесед, «салонное просветительство», в ранг высокого творчества. Чаадаев.

\* \* \*

По повсеместным деревенским понятиям собирающий цветы мужчина – придурок и размазня. «Раз у него душа к цветку лежит...» и т.д. И почтение к бутафорским цветам из города – украшение икон и пр.

\* \* \*

«И улыбка познания светилась На счастливом лице дурака»

\* \* \*

Вяземский, узнав о душевной болезни Батюшкова (33 года недуга): «Все мы рождены под каким-то бедственным созвездием».

\* \* \*

Фашисты, постоянно: «не заниматься беспочвенным теоретизированием», «быть ближе к реальной жизни».

\* \* \*

Тогда Чаадаева упрекали в двух слабостях: унынии и нетерпении.

\* \* \*

«Нести неверующую Россию на своих плечах», как выразился митрополит Антоний Блюм.

\* \* \*

Я ортодокс. Бог обделил меня, ни одной странности.

\* \* \*

четверых убил, шестерых изнасиловал, короче, вел себя непринужденно.

\* \* \*

христоцентризм

\* \* \*

Богородица, фатимской девочке Люсии: «В Моем Пречистом сердце ты всегда найдешь убежище».

\* \* \*

В британском энциклопедическом словаре: «Kak zakalyalas stal» – «история успеха молодого калеки».

\* \* \*

«Мне скушно обыкновенное, а по сравнению с Христом все обыкновенно» (Василий Розанов).

\* \* \*

умственная и эстетическая аскеза

\* \* \*

Пушкин, с отвращением: «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

\* \* \*

Чаадаев: «покорный энтузиазм толпы».

\* \* \*

Омрачает, бередит и расширяет сердце всякая тяжелая токкатность. Вот и сегодня слушал финал 7-й сонаты Прокофьева.

\* \* \*

«когда грешная Россия готовилась к отступничеству от Христа»

\* \* \*

противостояние двух болванов

\* \* \*

«Большой скачок» в Китае. Едят траву в Пекине и обливают мочой трупы на площади Тяньаньминь. «Несколько лет упорного труда – десять тысяч лет счастья» (Мао).

\* \* \*

Китайцы, ведущие свои передачи для зарубежа на 40-х частотах даже (в нарушение международного права) на волнах, предназначенных исключительно для сигналов бедствия.

\* \* \*

Мао, в беседе со Сноу: «Мне лично нравится международная напряженность».

\* \* \*

в сторону с «надлежащих путей»

\* \* \*

Начальник московской жандармерии о Петре Чаадаеве: «Образ жизни его весьма скромн, страстей не имеет».

\* \* \*

Тип забавника. Могущего, например, столкнуть в канаву слепого, из затайства.

\* \* \*

Н. Страхов в 70-х гг.: «Мы ведь с непростительной наивностью, с детским неразумием все думаем, что история ведет к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье, а вот она приведет нас к крови и огню, к такой крови и такому огню, каких мы еще не видели».

\* \* \*

Антисемит бы сказал: «Почему в песне „Вот мчится тройка“ – нехристь староста татарин – допустили бы мы такое о жидах?»

\* \* \*

Мигель де Унамуно: только видения Дон Кихота обладают истинным бытием. Все остальное в романе – иллюзорно.

\* \* \*

«Мы лишаем свою интимную жизнь трепетных красок».

\* \* \*

змееведы, то есть герпетологи дромомания – охота к перемене мест

\* \* \*

будуарная струя в поэзии

\* \* \*

«В момент страшного испытания Церковь Христова парализована немощью» (1939– 1945 гг.).

\* \* \*

Сплетение обстоятельств, солнечное сплетение обстоятельств.

\* \* \*

Важно еще, чтобы преступление считалось преступлением в момент его совершения, а не в период судебного разбирательства и приговора.

\* \* \*

Нездешне, инфернально взвизгивает, как Брюнхильда в «Валькирии».

\* \* \*

Я в жизни адмирал, и чувство это знаю.

\* \* \*

Человек должен быть как вода, говорили древние китайцы: в круглом сосуде – круглым и так далее. Попалась преграда – остановись. И теки все вниз, вниз, никуда больше.

\* \* \*

истощим и неисчерпаем

\* \* \*

«поединок латинского ума и тевтонской воли»

\* \* \*

«общество, смилившееся со своим крахом»

\* \* \*

Эти античные (опять) занимались только гомосексуализмом, а если и любили баб, то только безруких (Ника Самофракийская) и безголовых (Венера), т.е. наоборот.

\* \* \*

«и через 15 лет расконвоировали» идеи с чужого плеча.

\* \* \*

Брать билеты в транспорте, сморкаться только в общественных уборных, etc.

\* \* \*

Опрос рабочих завода «Рено» по поводу их литературных симпатий. «Авангардистских выкрутасов» они не любят. Два любимых большинством произведения: «Железная пята» Джека Лондона и «Как закалялась сталь» Ник. Островского.

\* \* \*

Ни один композитор мира не покончил с собой и не умер насильственной смертью.

\* \* \*

Святейший Синод при Николае I учреждает новую епархию, глава которой носил титул епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.

\* \* \*

«Симпатичный шалопаи – да это почти господствующий тип у русских».

\* \* \*

«для обуздания разврата», как говорил адмирал Шишков

\* \* \*

Жорж Матье, мэтр «лирического абстракционизма»: три его заповеди для подступа к картине: «1) опустошить себя, 2) сконцентрироваться в этой пустоте и 3) писать с максимально возможной скоростью».

\* \* \*

моя хлопотливая и суматошная должность тунеядца

\* \* \*

«продал себя за рюмочку похвалы» (Розанов).

\* \* \*

«Ты-то, Ерофеев, возвышенных соображений, ты высмаркиваешь на все, что для них нужнее всего, но все-таки и их позови, вдруг да они возвышеннее тебя?»

\* \* \*

«Не спят, не помнят, не торгуют», у Блока. Чем мы заняты? Если спросят, – так и отвечать: Не рассуждаем. Не хлопочем. Не спим, не помним, не торгуем. Не говорим, что сердцу больно. Etc.

\* \* \*

Я с каждым днем все больше нахожу аргументов и все больше верю в Христа. Это несильнее остальных эволюции.

\* \* \*

Меня, прежде чем посадить, надо выкопать.

\* \* \*

У Седаковой в прозе, дворничиха: «Мертвые – они умрут, а живые по ним убивайся!»

\* \* \*

писать так, во-первых, чтобы было противно читать, – и чтобы каждая строка отдавала самозванством

\* \* \*

обиходного свойства истины и сведения

\* \* \*

Великолепные экземпляры. С 8 до 5 – и въебывают, с перерывом на подъебки с 12 – и до 13-и, потом с 5 до 7 ебануть, с 7 до 10 – и взьебки, потом etc.

\* \* \*

без пролития желчи

\* \* \*

То есть заблудившись, найти что-нибудь более значительное, чем следуя проторенным путем, идти в направлении обратном общепринятому, – Колумб и его Новая Индия.

\* \* \*

Не выпьем. Не пойдем никуда, чтобы на людей не смотреть и себя не показывать.

\* \* \*

Господь не прощает такую вражду и такие потери Господь не прощает.

\* \* \*

сочетать неприятное с бесполезным

\* \* \*

«никогда бы не унился до такой тривиальности»

\* \* \*

В туалете на пл. Ногина: «Давно известно и не ново, что только здесь свобода слова. Да здравствует академик Сахаров! Окэй!»

\* \* \*

О принципе добровольности, американский публицист Норт: «Я предпочел бы видеть весь мир пьяным добровольно, чем одного человека трезвым насильно».

\* \* \*

Христа (как следует) знали 12 человек, при 3 с половиной миллионах жителей земли, сейчас Его знают 12 тысяч при 3,5 миллиардах. То же самое.

\* \* \*

В этом мире я только подкидыш.

\* \* \*

Это предохраняет от морщин вокруг рта.

\* \* \*

Завтра написать Курту Вальдхайму о том, что я признаю независимую республику Гвинею-Бисау. А Курт Вальдхайм мне в ответ телеграмму: «Дурак ты».

\* \* \*

Карамзин изобрел только букву «ё». Х, П и Ж изобрели Кирилл и Мефодий.

\* \* \*

Его замысел был умножать, а не делить, вычитать, а не прибавлять – в противовес Его.

\* \* \*

«таким крайним бесстыдством, такой способностью к неистовству» (французский роман)

\* \* \*

Проза документальная и проза орнаментальная. И живопись геральдическая.

\* \* \*

В Талдоме (ночь): «лучше быть стройным тунейдцем, чем горбатым ударником».

\* \* \*

Все делается по бабьему наущению: бедняга Макбет, дезертир Антоний, вор Адам, все трезвенники мира.

\* \* \*

Из всей латыни знать только N3 и Sic.

\* \* \*

«Путеводитель по кварталу публичных домов Барселоны».

\* \* \*

Люди, не убивайте друг друга, ибо это доставляет мне огорчение.

\* \* \*

«Я назову тебя проблядью», как сказал Виктор Боков. «Часто сижу я и думаю. Как мне тебя называть».

\* \* \*

издержки детопроизводства фамилии: Пассажилов и Инвалидов

\* \* \*

И милее всего. Неисчерпаемая череда пасквильных фельетонов Буренина, на всех, от Надсона до бальмонтских рабочих стихов 1905-го года.

\* \* \*

о спартанском царе Клеомене: «общаясь со скифами, он научился пить неразбавленное вино и от этого впал в безумие» (у Геродота).

\* \* \*

Московские евреи Пляцковский и Фрадкин: «Увезу тебя я в тундру».

\* \* \*

Выбить этот козырь из их бессовестных рук, то есть сделать наше здравоохранение платным. По любому поводу.

\* \* \*

Как аллилуйи делятся на аллилуйи просто и сугубые аллилуйи.

\* \* \*

«прогрессирующий сатанизм»

\* \* \*

«послужит для них началом бесчисленных бедствий или безмерного счастья»

\* \* \*

У Г. П. Федотова определение понятия «русская интеллигенция»: «Русская интеллигенция есть группа, движение, традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей».

\* \* \*

стремительное превращение сопляка в старого хрена

\* \* \*

Прекрасные египетские фараоны. По свидетельству Геродота: «После Мена было 330 Царей. Ни один из них не совершал никаких деяний и не покрыл себя славой. Они ничего не совершили».

\* \* \*

Обстановка и мебель. Чугунная ограда, сосновая кровать, пара электрических стульев, скамья подсудимых.

\* \* \*

Испанский сапог. Столыпинский галстук. Смирительная рубашка. Терновый венок. Но ему-то надо привлечь 2-3 сердца, а мне-то надо 20-30-40 сердец. Вот отсюда разница.

\* \* \*

Когда камыш только шумит, гнутся деревья. 83

\* \* \*

Замечаю в канун 56-й годовщины: я умею кривить морду только слева направо, справа налево не получается.

\* \* \*

Какой-то британец: «Рыцарство – удел бедняков».

\* \* \*

Геродот не верит в существование Оловянных (Британских) островов.

\* \* \*

Геродот говорит: надо чтить чужие обычаи. И спустя двести страниц: «Закапывать жертвы в землю живыми – персидский обычай».

\* \* \*

Стихи поэтов Бангладеш. Отсутствие мелкой монеты не может служить извинением безбилетного проезда.

\* \* \*

Какой-то шотландец-ученый рекомендует для укрепления голоса вдыхать росу цветов.

\* \* \*

Оставьте мою душу в покое.

\* \* \*

«У Израиля находится больше вопросов, нежели у Него ответов» («Саул» Жида)

\* \* \*

Шерлок Холмс подавляет Скотланд-Ярд своим титаническим интеллектуальным превосходством.

\* \* \*

Мое сердце не говорит этой музыке «нет», но и «да» оно не говорит. Мое сердце пожимает плечами, когда слушает ее.

\* \* \*

А может. Он ждет вопросов крупнее, и ему кажутся мелким узколобым вздором все наши wаgиn, wоzи, wіeso, «отчего?» и т.д. Как мне кажутся смешными вопросы моих коллег.

\* \* \*

У Него бездна ответов, и Он удивляется: почему так мало вопрошаем? почему ленивы и нелюбопытны и суетны?

\* \* \*

Видеть сны необходимо мне вот для чего: для упражнения и удостоверения в моральных принципах и чтобы понять: одинаково ли оставляют след страхи и горести сна и яви. В

конце концов, горе – внутренняя категория, и оно не обязано иметь под собой основание. Граф Толстой или Федор Достоевский выдуманные потрясения и утраты переживали острее и глубже, чем иной свои основательные. И т.д.

\* \* \*

Опять Добролюбов и К°. Слушая песню на слова барона Розенгейма «Степь за Волгу ушла» и т.д. Они-то, собаки, смогли бы написать хоть строку, от которой бы у русского замер дух?

\* \* \*

Энона – нимфа, верная подруга Париса во время его пребывания в Идейском лесу. Т.е. Парис ушел из Идейского леса, и Энона тут же перестала быть верной подругой Париса.

\* \* \*

Повсюду в Ногинском, Ореховском и пр. районах, на всех предприятиях висят соблазны; у входа: «Желаем хорошо потрудиться», а при выходе: «Спасибо за труд. Желаем вам отличного отдыха».

\* \* \*

Все о том же смягчении нравов. На предприятиях не пишут «Соблюдайте правила техники безопасности», а пишут: «Папы и мамы! Будьте осторожны! Вас дома ждут дети».

\* \* \*

вегетативная твоя душа, растительная то есть

\* \* \*

Несовершенство наших душевных процессов: ср. как отлично работает наш кишечный тракт. А здесь – застой, тошнота без выташнивания, неспособность вовремя освободиться от того, что накопилось нечистого и т.д.

\* \* \*

Ну зачем им, сволочам, пить? Они без того постоянно качаются, ходят боком, движутся не так как надо, говорят вздор и не стыдятся ничего. Самоуверенны и безошибочны.

\* \* \*

И, что там ни говори, даже самая хорошая ошалелость требует сейчас хорошего рационального руководства (рационального, т.е. во вкусе Фомы).

\* \* \*

Матфей: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата».

\* \* \*

Коллекционировать те способности, которые отличают человека от всей фауны: 1) способность смеяться, 2) пить спиртные напитки, 3) совершать беспричинные поступки, 4) поступать наперекор своей выгоде, 5) решиться поднять на себя руки.

\* \* \*

Ну так что ж, что пляшет? И царь-пророк Саул плясал перед Самуилом.

\* \* \*

Хорошо как лекарство, но не как пища.

\* \* \*

Граф Толстой о книге Паскаля: «Он показывает людям, что люди без религии – или животные, или сумасшедшие, тыкает их носом в их научность, безобразие и безумие...»

\* \* \*

У меня в душе, как на острове Свободы: не бывает праздничных дней.

\* \* \*

«Все это слишком просто, чтобы вы могли понять» (Честертон).

\* \* \*

Екатерина Великая: «человек безукоризненной честности, но недалекого ума».

\* \* \*

Как говорил Фома, «я впал в несовершенство».

\* \* \*

Степень бабьего достоинства измерять количеством тех, от чьих объятий они уклонились.

\* \* \*

так, чтобы твою ценность измеряли в каратах

\* \* \*

В старых открытках: «Люби шутя, но не шути любя».

\* \* \*

Она уже закончена, но ее надо исполнить. Это все мысли, которые лень даже прогонять.

\* \* \*

Из всех пишущих русских К. Победоносцев более всего ценил Мельникова (Печерского).  
Даже пересылает «В лесах» Александру III и рекомендует прочесть.

\* \* \*

Говоря райкомовским языком, она всемерно способствовала мне.

\* \* \*

Их всех убил палач Сансон, значит, он один и виноват.

\* \* \*

все равно пригвожденность, ко кресту ли, к трактирной ли стойке...

\* \* \*

Я как Борис Годунов. Глад и мор и гнев народный и смуты, и терзания. Являются плюгавые, чернявые и энергичные Василии Шуйские, являются и плетут интриги. Являются юные Лже-дмитрии. А я – только стискиваю голову, мечусь между Владимиром и Талдомом с вечным «Уф, тяжело! дай дух переведу!»

\* \* \*

Игнатий Лойла, из поучений: «Работающий в винограднике Господнем должен опираться на землю лишь одной ногой, другая должна уже быть приподнята для продолжения пути».

\* \* \*

драгоценные мысли Мухтара Ауэзова касательно Абая Кунанбаева.

\* \* \*

предсмертную тоску Пушкина («Ах, какая тоска!», он говорил, что от нее он страдает больше, чем от боли) – приписали воспалению брюшной полости.

\* \* \*

Каждая минута моя отравлена неизвестно чем, каждый мой час горек.

\* \* \*

«все мерзостно, что вижу я вокруг», как сказал Самуил Маршак.

\* \* \*

Яхрома, порт семи морей.

\* \* \*

Любимый герой Анджелы Дэвис – Вас. Ив. Чапаев.

\* \* \*

Из формы церковного отлучения и проклятия (XIII-XVI в.)

\* \* \*

«... Да постигнет его проклятие наше в его доме, житнице, постели, поле, в городе и дороге. Да будет он проклят в сражении, в молитве, в разговоре, в молчании, в еде, в питье, во сне. Да будут прокляты все его чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело его от темени головы до подошвы ног...

\* \* \*

Как я гашу теперь эти светильники, так да погаснет свет его очей. Да осиротеют его дети, да овдовеет его жена. Да будет так, да будет так! Аминь».

\* \* \*

Можно прибавить: да будет проклят: в лесах и на горах, в гостях и дома, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью.

\* \* \*

Перевести в умственную сферу понятия «ультра» и «инфра». Т.е. выше понимания и ниже понимания. Ср. звук ультра и звук инфра.

\* \* \*

Все эти сарматские цветочки, которые умеют распускаться на галльской только почве. См. Фредерик Шопен, Мария Скłodовская, Костровицкий-Аполлинер...

\* \* \*

У меня, как у лилии, пыльца на рыльце.

\* \* \*

Конфликты в итальянских песнях: «Лю-блю я ма-ка-роны,.. Хотя моя невеста их не любит».

\* \* \*

«Мы с этой дамою почти единоверцы».  
(Аполлинер)

\* \* \*

«Полноте ребячиться», как говорит Германн графине.

\* \* \*

Сравнивают бергмановский кинематограф отчаяния и феллиниевский кинематограф надежды.

\* \* \*

Виктор Гюго, 1877 г. Принимает у себя в гостях на ул. Клиши императора Бразилии дона Педро. Тот робеет при входе.

\* \* \*

Дураки, они свою столицу Христианию переименовали в Осло.

\* \* \*

«от элементарности – к бесчеловечности»

\* \* \*

Ты родилась под знаком Солнцедара.

\* \* \*

Но бархатистостью своих лядвей Она и это, впрочем, искупала.

\* \* \*

Спорт Бори Сорокина, многоборца: прыгает выше собственной головы, убегает от самого себя, борется с соблазнами, гимнаст: ходит по острию ножа меж двух бездн, поднимает душевные тяжести рывком и жимом, играет со смертью с выигрышем для себя, etc.

\* \* \*

Вольная борьба – с соблазнами. Классическая борьба – с предрассудками.

\* \* \*

Оказывается, от Гейне начинается понятие «сверхнатурализм», т.е. понятие, включающее в себя все, кроме реализма.

\* \* \*

французская народная песня «Ах, как же я простужен!»

\* \* \*

существо, призванное прорицать и заклинать

\* \* \*

«исполненное чисто кастильского благородства»

\* \* \*

Сент-Бев и Мюссе то и дело ходят в публичные дома «в поисках забвения».

\* \* \*

Тягомотина и банальности, хуже нет, Аполлинер, вся поэзия и все письма: «Я умел любить – это ли не эпитафия!». Или: «Ты воспламеняешь сердце, Мадлен, как проповедь в храме!». Или еще: «Пусть долетят до тебя, Лу, снаряды моих поцелуев». О войне пишет: «Я умолчал о некоторых фактах... Мои впечатления, зафиксированные по горячим следам...»

\* \* \*

Опять этот ненавистный пошляк Аполлинер. «Мое сердце голосует за надежду», «Прошу Вас, очаровательное видение, напишите мне письмо подлиннее».

\* \* \*

Опять письма Аполлинера: «Пожалуйста, Мадлен, обнажите свою душу, свое тело, свое сердце».

\* \* \*

И еще: «Видел твою жену. У нее вкус лаврового листа».

\* \* \*

Шопенгауэр: «Жизнь вполне терпима, но вряд ли стоит родовых мук».

\* \* \*

Ты будешь музицировать, я буду вальсировать.

\* \* \*

Честертон о разнице в пессимисте и оптимисте. Оптимист это тот, кому все хорошо, кроме пессимиста. Пессимист – тот, для кого все плохо, кроме него самого.

\* \* \*

случалось, она теряла авторитет, но не теряла достоинства

\* \* \*

Теперь уже говорят не о «муках слова», а (в применении к кино, музыке, etc.) – о «муке приблизительности».

\* \* \*

опять все то же: тайники души, кладовые подсознания и пр. дичь

\* \* \*

«арлекинада как средство и против обывательского застоя и против натужной героизации»

\* \* \*

«самосозерцание на грани нарциссизма» «бесцеремонная сентиментальность»  
элитаризация масс

\* \* \*

французский католик Анри де Монтерлан о половой любви: «Это власть, оккупация чужой души».

\* \* \*

две кошечки во дворе, их зовут Алгебра и Гармония

\* \* \*

Как сказал Данте Алигьери, пусть взглянет в ее глаза тот, кто не боится вздохов.

\* \* \*

О поборниках смешанной, универсальной религии говорит Г. К. Честертон: «Она будет хуже, чем любая религия сама по себе, даже чем индийская секта душителей».

\* \* \*

О христианстве еще спорят, дурно ли оно, хорошо ли. А вот о духовном оркестре спорить нечего: здесь чистая духовность и т.д.

\* \* \*

и вся их, разграфленная по пунктам, профессиональная этика.

\* \* \*

Бэций презирал народную молву и народную мудрость на том основании, что она лишена способности различать.

\* \* \*

слава богу, лишен Ordnung und Zucht– порядка и дисциплины

\* \* \*

У вас вот лампочка. А у меня сердце перегорело, и то я ничего не говорю.

\* \* \*

но ведь ты-то! ты! человек «тончайшего сердца!»

\* \* \*

она меня обуяла, я обуреваем ею

\* \* \*

Ценить в человеке его готовность к свинству.

\* \* \*

Два молодых человека, встревоженные, хотели повернуться ко мне спиной, но их разнесло ветром.

\* \* \*

и это так же глупо, как... как уходить добровольцем на фронт

\* \* \*

Шесть раз я выстрелил ему в затылок – он не шевельнул и бровью.

\* \* \*

У них харкотина взамен души, и вместо мозгов – блевота.

\* \* \*

меня выковоряла она на свет, как козявку из носу

\* \* \*

Музыка – средство от немоты. Может быть, вся наша немота от неумения писать музыку.

\* \* \*

Что ж, и мне тоже свойственно бывает томиться по прошлому, по тем временам, например, когда еще твердь не отделилась от хляби, а только тьма изначальная.

\* \* \*

Все лучшее во мне говорило мне: ... А все худшее возражало на это так:...

\* \* \*

Но человек он был мглистый и шаткий, его обвинили в (...) и Ф. Э. лично защекотал его в своем рабочем кабинете.

\* \* \*

Сынок утонул в ведре, потом дочь – последняя дочь – расшиблась насмерть, упав с веника. Мама не могла перенести этих двух потерь сразу – и через три недели родила третьего.

\* \* \*

Третий был странным существом. Он молчал... и только на третьем году жизни заплакал.

\* \* \*

Могу ли я сказать, что ты послана мне с высоты небес? Да, я могу это сказать, я еще много что могу о тебе сказать, но не скажу.

\* \* \*

Ты пролилась на меня с облаков.

\* \* \*

Меня околдовать трудно, я чарам не поддаюсь.

\* \* \*

С веткой в ушах, с парализованными ногами, я вошел в этот дом. Меня встретили оплеухой.

\* \* \*

Одна дымящая головня упала рядом со мной – я плюнул на нее, я высморкался в нее – она вспыхнула и разлетелась в небе тысячью искр.

\* \* \*

Пламенный хитон натяну я на вас! День гнева воссиял! Где моя паяльная лампа?

\* \* \*

Опали им гортань и душу

\* \* \*

Т.е. у конца: я жду от вас: Не так: я ничего от вас не жду, вернее, нет – я жду от вас сказочных зверств и несказанного хамства.

\* \* \*

Израильтянин, в котором нет лукавства.

\* \* \*

Уже на 3-м курсе спрашиваю: а на каком я учусь факультете?

\* \* \*

И еще раз о том, что тяжелое похмелье обучает гуманности, т.е. неспособности ударить во всех отношениях, и неспособности ответить на удар.

\* \* \*

Цели в жизни нет. Все в жизни лишь средство, как сказал В. Брюсов, стихотворец.

\* \* \*

Мы с каждым днем все хуже. И каждый, и все человечество с каждым днем все хуже. И поэтому, если говорить о качестве людей, то лучше всего тот, кто это чувствует, т.е. тот, кому с каждым днем все хуже и хуже.

\* \* \*

Человек не самолюбив и суеверен. Он уважает все болезни, кроме тех, которые он сознательно в себя внес.

\* \* \*

рубашка на груди так была распахнута, что видны были ноги

\* \* \*

Мы все так опаскудились мозгами и опаршивели душой, что нам 13-летняя привязанность кажется феноменом. Мы, правда, живем в мире техники и скоростей, ну, что ж, пропусти технику, иначе действительность собьет, протиснись сквозь все эти такси и иди куда тебе надо.

\* \* \*

Человек, идущий за малой нуждой, все-таки ценнее машины, летящей для доклада в СЭВ.

\* \* \*

И опять: могу ли я понимать это так, что ты пролита на меня с облаков?

\* \* \*

«прочти и порви» совместить с «прочти и передай другому», т.е. верх интимности с верхом всеобщности.

\* \* \*

Ну, что прибавила техника! Она просто отвлекает от дела. Т.е. пересекая улицу, надо сначала смотреть налево, потом направо, etc.

\* \* \*

Не дают опустить свою же голову на свои же плечи

\* \* \*

О необходимости вина, т.е. от многого было б избавление, если бы, допустим, в апреле 17-го г. Ильич был бы таков, что не смог бы влезть на броневик.

\* \* \*

Т.е. задача в том, чтоб пьяным перестать пить, а их заставить.

\* \* \*

Не смех со слезами, но утробное ржание с тихим всхлипыванием в подушку, трагедию с фарсом, музыку со сверхпрозаизмом, и так, чтоб это было исподтишка и неприметно. Все жанры слить в один, от рондо до пародии, на меньшее я не иду.

\* \* \*

простодушие с желчью

\* \* \*

С Пентагона до Кремля, с небес до земли, с головы до ног – все изменено.

\* \* \*

В конце прошлого века Ф. Достоевского на Западе еще так мало понимали, что, например, во Франции в переводах исключалась как балласт «Легенда о Великом инквизиторе».

\* \* \*

от Достоевского у экзистенциалистов концепция абсурдности бытия и трагизма человеческого существования

\* \* \*

«Идея личной ответственности каждого взамен идеи безличной безответственности всех».

\* \* \*

Их терминология на этот случай: разобщенность, изолированность, обреченность, забытость, заброшенность.

\* \* \*

загнанность, завербованность, преданность

\* \* \*

не самоирония, а самоглумление, самоподтрунивание

\* \* \*

а о внутренностях героев сейчас говорят так: раздвоенность, разбросанность, расколотость, расщепленность, раздавленность, разбитость

\* \* \*

Ну, пусть они меня признают. Но ведь это все равно что Кубу пока признали только Гайана, Ямайка, Тринидад и Тобаго.

\* \* \*

«в этой погоне за миражами, потребности забыться и уйти от обыденности» к чему-нибудь, хоть блядкам, etc., – будничность, еще более облезлая и тошнотворная

\* \* \*

Для Бори Сорокина – мир маленький комок, подступивший к горлу и застрявший в нем.

\* \* \*

Хуйня война, как говорит Вадя Тихонов, страшны маневры.

\* \* \*

Иногда ведь скажешь так тихо, что себя самого хуй расслышишь, а иногда так, что «цыганки закачаются на высоких, сбитых на бок каблуках».

\* \* \*

Какой-то папа XVIII в. на предложение хоть немного изменить status quo католичества и его доктрины: *Simus ut sumus aut non simus*: «останемся как есть или перестанем вовсе быть».

\* \* \*

Идея тления, «кончины всех вещей»

\* \* \*

Я не знаю своей Родины, но я немножко ее избороздил.

\* \* \*

Хочешь увидеть падающую башню – поезжай в Пизу.

\* \* \*

Совместить в компании все голоса и придать видимость махонького единства, упражнения в контрапункте.

\* \* \*

германизм ее склонностей и симпатии

\* \* \*

Гоголя называли русским Фомой Кемпийским (его последнее чтение и самое излюбленное).

\* \* \*

Делиль (18 в.) хвалится тем, что впервые в истории французской поэзии употребил слово «корова».

\* \* \*

Чтобы попасть в гостиницу, рекомендуется: «Я внук знаменитого Павлика Морозова, героически замученного партизанами» (из рассказов Про-шки).

\* \* \*

мы с тобою не нашли ничего, кроме общего языка

\* \* \*

О выборе непременно цейлонского чая. Скорбь мы уважаем каждую, и пустяковую в том числе, а вот смех нужен определенного сорта.

\* \* \*

Поэзия должна быть горьковата

\* \* \*

в качестве пряности добавлять во все это элемент шарлатанства

\* \* \*

Гуманности нет на земле, она где-то далеко, гуманность в созвездии Андромеды.

\* \* \*

Екатерина Великая, по сообщению Загряжской, всего только два раза была сердита, и оба раза на княгиню Дашкову.

\* \* \*

Ямщик, не гони лошадей, Им некуда больше спешить.

\* \* \*

Победительнице-мученице от побежденного мучителя.

\* \* \*

она раскинула свой стан (там-то и там-то)

\* \* \*

«Какой-то одесский еврей у Эренбурга пишет такие стихи:

\* \* \*

Велико мое одиночество!

\* \* \*

Нет у меня ни имени, ни отчества.

\* \* \*

он дал мне этот верховный совет

\* \* \*

В ноябре: входит Раскольников, а его старушка рраз топором.

\* \* \*

Не говори, что много наизусть ты знаешь. Скажи, что многого не знаешь наизусть.

\* \* \*

Недостойные Валгаллы после смерти попадают в холодное и темное царство Геллы.

\* \* \*

Бедлам учрежден в XIII веке.

\* \* \*

Как надоело это шлепанье шампанских пробок, это щебетание птах, эти белые фиалки и алые гвоздики, – как хочется в каземат.

\* \* \*

Жить не торопится и выпить не спешит.

\* \* \*

Юный Пикассо, на поводу у Мигеля де Унамуно, в 1901 г.: «искусство порождается горем и скорбью».

\* \* \*

Унамуно различает две основные возможности существования: повседневная, или тривиальная жизнь и жизнь трагическая, подлинная.

\* \* \*

«Личность – это человек, который страдает» (Унамуно).

\* \* \*

Потерять корзинку с грибами – и сесть на пенек, и плакать, и выть – выть, как серый волк, плакать, как Красная Шапочка.

\* \* \*

Он хоть подлый, но подлинный.

\* \* \*

Карл Линней швед, изобретатель термина homo sapiens.

\* \* \*

До чего трогательно звучит у Фета еще не обосранное большевиками слово: «разоблаченная», т.е. без покрывала.

\* \* \*

В. К. Третьяковский, про ласточку:

\* \* \*

«О птичка особливых свойств!»

\* \* \*

«Италия! Ты сердцу солгала!» (Фет) «Молчи, Флоренция, Иуда!» (Блок)

\* \* \*

Как прежде хорошо назывались всякие повстанцы: не патриоты, не бандиты, не душманы, не и т.д. А просто: инсургенты.

\* \* \*

Пойдем с тобой, Люся, в отдельное помещение. Или в водоем.

\* \* \*

И Марк Твен сказал: «Быть хорошим – это очень изматывает человека».

\* \* \*

Степан Трофимович: «К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без труда и немцев».

\* \* \*

Почти библейские милые аббревиатуры: УОВ, ИОВ – на дверях кабинетов врачей:  
Участник ОВ, Инвалид ОВ.

\* \* \*

А седьмое июня нового стиля следует называть не глупым Ивана Купала, а точно:  
«Рождество пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна».

\* \* \*

Наименование израильской знаменитой разведки очень легко запомнить: Моссад. (Моссад  
с каждым днем увядает.)

\* \* \*

Из русских исторических песен:

\* \* \*

«Не хвались, вор-француз, своим славным Парижем!

\* \* \*

Как у нас ли во России есть получше города!»

\* \* \*

Или еще русская историческая песня. Говорит царь:

\* \* \*

«Конституциею (!) связан Я не буду никогда. Представительных собраний Я с пеленок не  
терплю!»

\* \* \*

При случае сказать Ольге Седаковой, что ее подружка Зара Долуханова больше подкупает  
не армянской «Ласточкой», а мадьярскими «Журавлями».

\* \* \*

Голос из хора, останавливающий чтеца: «Оргазм уж наступил!»

\* \* \*

«При деспотическом режиме виновен только тот, кто карает» (Кюстин).

\* \* \*

Политикой партии и правительства не интересуюсь. Газет не читаю. Скрытен, замкнут,  
способен на любое преступление.

\* \* \*

Но клянусь тебе ангельским садом, Я к тебе никогда не приду. Так сказал нам товарищ завскладом По фамилии Жорж-Помпиду.

\* \* \*

Кюстин: «В России ничто не называется своим именем».

\* \* \*

«Кюстин: „Русский народ теперь ни к чему не способен, кроме покорения мира“.

\* \* \*

Неисправимейший балбес Блок. Из дневников 18-го г: «Чувство неблагополучия–музыкальное чувство».

\* \* \*

В самом деле балбес: «Россия заразила уже человечество своим здоровьем» (и это в дневнике 20 фев. 1918).

\* \* \*

Маркиз де Кюстин в беседе с великой княгиней Еленой Павловной. Она: «Почему г-жа Жирарден ничего более не пишет?» Кюстин: «Она – поэтесса, а для поэтов молчание – также творчество».

\* \* \*

О Пугачевщине знают все, а о чуме 1771 – никто почти. А умерших больше, чем в Пугачевщину с обеих сторон. Ср. «испанский грипп» 18-19-го гг.

\* \* \*

Узнаю из сапгировских стихов: цензор Николай I поправил Пушкина. Финальное «ликует» в «Борисе Годунове» зачеркнул и, подумав, начертал: «безмолвствует».

\* \* \*

Все сделать как-нибудь через попу. Назначить директором Малого театра Егора Кузьмича Лигачева (лучше Егора Лигича Кузьмичева), а перед входом соорудить статую Фридриха II с созвездием Кассиопеи на брюхе.

\* \* \*

Да и в XIX веке. Когда хоронили Мих. Розен-гейма: 40 артиллерийских салютов. Когда Пушкина – разрешили только Вяземским в ночь сопровождать тело.

\* \* \*

В письме к Ахматовой Николай Гумилев: «Мне кажется, что во всей вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби» (1912г.).

\* \* \*

Еще раз и последний: новую орфографию, отмену ятей и пр. – ввело Временное правительство. Большевики только усиленно стали внедрять ее.

\* \* \*

В паспортах таких людей, как я, надо вводить новые графы. Например, «размах крыльев» и пр.

\* \* \*

Гаспаров про Горация: на улицах Рима пальцами показывали на этого «невысокого, толстенького, седого, подслеповатого и вспыльчивого человека».

\* \* \*

Если враг не издается – его уничтожают.

\* \* \*

Карамзин о тацитовом Риме:

«Он стоил лютых бед несчастья своего,  
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!»  
1799

\* \* \*

«Почему тебя все куда-то заносит? Написал бы что-нибудь интересное... Для всех...»

\* \* \*

«Физикам хорошо. Они запустили хиросиму в Нагасаки...»

\* \* \*

Я не гастроном, я эмпирик.

\* \* \*

Из речи Председателя Государственной Думы М. В. Родзянко: «Не дерзайте касаться нашей святой Руси!»

\* \* \*

А я глядел ей вслед и ронял янтарные слезы.

\* \* \*

Он стрелял в меня весь вечер. Но два раза не попал.

\* \* \*

Как «говаривал» Вадя – «Меня преследует рок изобилия».

\* \* \*

В учебнике общей энтомологии советуют вот как бороться со скорпионами: схватить и погрузить в 70-градусный спирт.

\* \* \*

«потому что климат в России суров, но справедлив».

\* \* \*

«Окно в Европу было открыто Петром в 1703 г. и 214 лет не закрывалось».

\* \* \*

«История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне его!»  
(Пушкин, 1830 г.)

\* \* \*

Из пропущенного:  
Из наслаждений жизни  
Один вермут любви уступает,  
Но и вермут – мелодия.

\* \* \*

Говорят, что есть такая заветная черта, через которую мы, русские, никогда не переступим.

\* \* \*

Интересно, что же это за заветная черта. Если черта бедности – то... и т.д.

\* \* \*

Пропуск в «Вальпургиевой ночи»: Югославия все кланчит Триест, все кланчит и кланчит Триест – и чего это она все хочет Триест? Ну, дадим мы ей Триест, пусть подавится своим Триестом!

\* \* \*

Мой сосед Эдик тоже сочиняет:  
«Наша русская мгла  
Смогла  
То, что западный смог

Не смог».

\* \* \*

Отчасти – да. Но весь я не свихнусь.

\* \* \*

идет, такая величественная, а на раменах ее накинута такая хламидомонада.

\* \* \*

И опять: Карпенгер-Борхес-Маркес-Кортасар. Ричардсон интереснее.

\* \* \*

Умирающий Давид – Соломону: «Не ужасайся и не унывай».

\* \* \*

Давай побибиседуем

\* \* \*

Так чего же ты, после этого, от нас еще хочешь, самородок?

\* \* \*

Молод еще Господь со мной спорить-то

\* \* \*

И вещей Олег, не боясь ничего, Отбросил копыта коня своего.

\* \* \*

он хочет ее использовать в неблагоприятных целях

\* \* \*

И зачем людям гарибальди нужны?

\* \* \*

«задавил, как оползень»

\* \* \*

Все убеждены: в 86 г. русский народ убьют. Немножко не так: в 86 г. весь русский народ убежден, что его убьют.

\* \* \*

Какое качество вы прежде всего цените в людях? – незадачливость. Ваше любимое занятие? – физзарядка.

\* \* \*

А я бы эти пруды запретил.

\* \* \*

А в детстве мечтал стать– ну, кем мечтал стать? – лжесвидетелем, огнепоклонником, кормилицею...

\* \* \*

Самое лучшее из всего написанного Петром Ильичом все-таки куплеты мсье Трике.

\* \* \*

Вот так и живу. Докучаю Богу, людям и животным тварям.

\* \* \*

«Уф, тяжело, дай дух переведу». Переводчик духа.

\* \* \*

Ведь как просто можно было обращаться к публике: «Я сказал бы вам еще кое-что, если бы вы не были теми, кто вы есть». (Великий магистр Ордена тамплиеров, 1309 г.)

\* \* \*

А весна на Кавказе с этого и начинается. Раскрывается первый розоватый цветок. Он зовется Колхикум Биберштейна.

\* \* \*

Шуточки московских интеллигентов: «Из-за леса, из-за гор едет дядя Кьеркегор».

\* \* \*

Из хасидской притчи: «И сотворил Господь чудо: везде была суббота, но там, где проезжал Рабинович – пятница».

\* \* \*

Каждому советскому человеку повесить на грудь красивые таблички с обозначением его крепости и сахаристости. Цена одна, не нужно.

\* \* \*

Отметить 400 лет со дня смерти Малюты Скуратова.

\* \* \*

Основные черты русской нации: заколдованность и недорезанность.

\* \* \*

Клавдий Птица, отличник хоровой и космополитической подготовки.

\* \* \*

О русской нации лучше: не загадочность, а заколдованность в самом худшем из смыслов этого слова, т.е. приплюснутость, т.е. полузадушенность, т.е. недоношенность плюс недорезанность (измордованность).

\* \* \*

За отравой стоим. Стоит усатый Сальери за прилавком, а к нему в очередь 25 Моцартов.

\* \* \*

короткая, как замыкание

\* \* \*

250 миллионов заложников, захваченных террористами

\* \* \*

Нам черт не брат и Бог нам не владыка.

\* \* \*

Почему ты, сука, не можешь сделать мою жизнь яркой и насыщенной?

\* \* \*

на моем очень жизненном пути

\* \* \*

Как цену, тебя набыю и, как цену, вздую.

\* \* \*

Если этой музыке находить соответствия в сфере обоняния, так это запах паленой шерсти и псины.

\* \* \*

Тихонова из дома, как слово из песни, не выкинешь.

\* \* \*

О Галине Вишневской: «как певица тихо за морем жила». Запоминать надо только то, что никогда тебе не пригодится.

\* \* \*

И в бабах и в детях уважаемее всего: пухлость и кротость.

\* \* \*

А я и тогда глядел на всю эту партизанщину глазами русского машиниста, летящего под откос.

\* \* \*

В 1702 г. в Турции был издан закон, запрещающий евреям носить желтые туфли.

\* \* \*

Ненавистнейшие из людей: те, для которых всё само собой разумеется. Да что же это всё? Да и чем собой? Да и что такое «разумеется»?

\* \* \*

Моя Родина в 1938 г., когда вынашивала меня, была в интересном положении.

\* \* \*

Мне  
Стан твой понравился  
Теплый  
И весь твой...

\* \* \*

И вечно-то он всё о любви да о любви, как будто это не человек, а Эдуард какой-то Колмановский.

\* \* \*

Захочу – травмирую, захочу – казню.

\* \* \*

А Джимми Картеру не до этого, он качает права человека.

\* \* \*

Вот бегают кровавый мальчик...

\* \* \*

Слушай, ты, вдохновенный кудесник, Мамай губастый!

\* \* \*

Слушай, ты, бродячий сюжет!.. Слушай, ты, аленький цветочек!

\* \* \*

Все устремились на Капказ, что промеж Хвалынского моря и Эвксинского Понта.

\* \* \*

Т.е. мы имеем дело с явлением, которое не стоит даже и борьбы против него. Не надо придавать ему значения.

\* \* \*

Олимпийские икры.

\* \* \*

Когда бы грек увидел наши икры!

\* \* \*

Что ж! И у Хлебникова были заслуги. Он, например, придумал слово «летчик» (взамен блоковского «летуна»).

\* \* \*

Почему мы отмечаем День милиции только 10-го числа 11 –го месяца? Надо предложить 10-го числа каждого месяца отмечать День милиции.

\* \* \*

Вот как выражались прежде генерал-губернаторы: «сей отвратительный очаг политического распутства».

\* \* \*

А вот в сравнении с Римским Папой ваши православные лидеры совсем охолуели.

\* \* \*

И да здравствует традиция. Блюхера и милорда глупого все-таки на черном рынке больше ценят.

\* \* \*

Проект постройки газопровода слезоточивого газа.

\* \* \*

Идеал мужчины (по радио): сказал – и сделал. Генрих, например, Гиммлер, сказал: уничтожу шестую часть славянства. Взял – и уничтожил.

\* \* \*

Англичанин Морис Бэринг, побывавший в России в начале XX в., пишет: простой русский считает «ненормальным, неумным человека, не верящего в Бога».

\* \* \*

Кто виноват? Никто не виноват. Что делать? Ничего делать не надо. Кем быть? Никем не быть. Где приют для мира уготован? В пизде, на третьей полке, где ебутся волки.

\* \* \*

Почему молчишь целых пять лет? – спрашивают. Отвечаю, как прежде графья отвечали: «Не могу не молчать!»

\* \* \*

Оперетта Соловьева-Седого «Самое заветное».

\* \* \*

Я хорошою, как села Казахстана.

\* \* \*

И мало того, что Бога ни всеу, ни как иначе называть не надо, но и давление-то должно быть незаметным, атмосферным давлением.

\* \* \*

А вы-то говорите о Боге так, как Эдуард Хиль поет о Тынде.

\* \* \*

Японский премьер Сукабуду Навэки.

\* \* \*

Не то что небожителем я был, а просто нездешним. Она ж меня смеясь, на землю пролила.

\* \* \*

А он, мятежный, просит бури, Как морда просит кирпича.

\* \* \*

Им-то это не трагично, а мне очень даже. «И все засмеялись, а Веня заплакал».

\* \* \*

Через 20 лет после соловьевского:  
«Со стихиями надзвездными  
Он в сношение вступал,  
Проводил он дни над безднами  
И в болотах ночевал».

\* \* \*

у Николая Клюева, 1911 г.:  
«С той поры я перепутьями  
Невидимкою блуждал,  
Под валежником и прутьями  
Вместе с ветром ночевал».

\* \* \*

Свято место пусто не бывает, но ведь и отхожее тоже.

\* \* \*

А вот он, например, и в городе Богдан, и в селе Селифан, и тпру и но, и рыба и мясо, и т.д.

\* \* \*

За такое поведение (кричать, перебивая оратора: «Есть такая партия!») сейчас бы по головке не погладили. Ср.: в Большом поют: «Кто может сравниться с Матильдой моей!» – встать и крикнуть: «Я могу сравниться с Матильдой твоей ебучей!»

\* \* \*

Ср. прежних и нынешних интеллигентов: те были слегка пьяны и до синевы выбриты, нынешние слегка выбриты и пьяны до синевы. Те знали все от Баха до Фейербаха. Нынешние – от Эдиты Пьехи до иди ты на хуй.

\* \* \*

А. Твардовский (1968): «Что делать мне с тобой, моя присяга?»

\* \* \*

У нее есть корпус, а у меня корпуса нет.

\* \* \*

Русская нация – просто невыспавшаяся, потому бестолковая, невезучая, противная, нервическая. У всех же было время поспать, много лет добротного мещанского искусства и бытия.

\* \* \*

Кто первый стал говорить с бумажкой перед еблом? Говорят, что Вильям Питт-младший.

\* \* \*

служу антисоветскому союзу

\* \* \*

Да ведь мы ничего, по существу, не делаем. Мы передаем каждый день сигналы точного времени.

\* \* \*

Во мне ведь коварства нет, так, легкая подколотность.

\* \* \*

Я – орел, я – соловей, я – сокол, а она – сорока, она – трясогузка, она – пустельга.

\* \* \*

Ты, Вадя, пройди сначала мои университеты, а потом иди в люди.

\* \* \*

Отвечай моим коренным интересам, сука!

\* \* \*

Проходящие мимо: «Я хохотала даже внутри».

\* \* \*

Мимо проходят две женщины с костылями: «Движение – это воздух... Нет, нет, воздух – это движение...»

\* \* \*

Паустовский и пр. Поклонение святым хвощам.

\* \* \*

Странно видеть такое начало. Будто видишь с «Ы» начинающееся слово.

\* \* \*

А все это доброе, что они делают, – это все продиктовала им корысть, чтоб избежать житейского волнения.

\* \* \*

А Господь меня сюда втащил, как та мачеха, пославшая в декабре за подснежниками.

\* \* \*

Дареному коню в зубы не бьют. Хочу быть отъявленным и оголтелым, сдаются меблированные воздуха

\* \* \*

а мы-то день ночь въябываем, как какие-то силезские ткачи

\* \* \*

Громят в 1949 г. Гуковского за идеализацию поэзии Жуковского, «царедворца, врага декабристов, ретрограда и певца сумеречных, упадочных, христиански-антиреволюционных настроений».

\* \* \*

Говорят о космонавте Вал. Быковском то же, что можно и обо всей нации: «обладает феноменальной способностью переносить большие перегрузки».

\* \* \*

«щедр на комплименты, скуп на алименты»

\* \* \*

Стыд-совесть-честь. У меня, например, так много стыда, что совести уже поменьше, а чести так уж почти совсем нет.

\* \* \*

У Вал. Бармичева не голова, а боеголовка. Таким камвольно-суконным языком.

\* \* \*

И все это написано слогом сверкающим, с почти нестерпимым блеском.

\* \* \*

не смертоносная женщина, но болезнетворная

\* \* \*

читать между глаз

\* \* \*

На что живешь? Для кого работаешь? У кого учишься?

\* \* \*

Речитатив и ария Анны из оперы Гранелли «Анна Каренина». Ария Катюши Масловой из оперы Альфано «Воскресение».

\* \* \*

Помню, что фамилия какая-то длинная и кончается на «х». Вроде «Соснопомволоствоиховсяных».

\* \* \*

А я ей говорю: ты нравишься мне своим умом бесчеловечным и нечеловеческим телом.

\* \* \*

Полуразбитое полукорыто,  
Полунакрытое полупиздом.

\* \* \*

Умеешь ли ты играть хоть на каком-нибудь из мусикийских орудий?

\* \* \*

Если и приходят мысли, то щуплые, неказистые и плюгавые.

\* \* \*

А она требует от мужичков того, что вообще-то мужичку надо требовать от баб, т.е. неосновательности.

\* \* \*

А между тем отшельник в темной келье Веселых и приятных мыслей полон.

\* \* \*

В тебе нет ни сумрака, ни рассвета, ни вздоха, ни даже полноценной ублюдочности.

\* \* \*

Вам легче, вы слушаете обенди, а мы – попали в запандю.

\* \* \*

Они (как говорят о венгерских футболистах) «хорошо играют головой».

\* \* \*

Глуп ты, братец, как черноплодная рябина.

\* \* \*

Это еще не обездоленность, это просто обделенность.

\* \* \*

Жалуются на исчезновение товаров и пр. «Сколько всего пропало!» Ср. прежде... 30 лет назад. «Сколько всех пропало».

\* \* \*

Да это же всё так, всё это неаполитанская тарантелла, вечерний звон.

\* \* \*

В ночь со 2-го на 3-е октября говорят по радио: «Счастливого, евреи, вам нового 3759 года».

\* \* \*

Если его так часто будут пиздить, доживет ли Амальрик до 1984 года?

\* \* \*

Трех котят назвать Седуксен, Демидрол и Люминал.

\* \* \*

Хотел бы иметь какую-нибудь еврейскую фамилию типа Глинтвейн.

\* \* \*

Пшеничная водка «Колос Америки».

\* \* \*

О кошке, которая вечно лазила через большую дыру в заборе, а когда явились у нее котята, сделала для них махонькую дырочку: через большую они ведь не пролезут.

\* \* \*

Пришедший к Христу как раз человек, которому все нужно, а не так, как Авдиев – кроме этого все посторонне и ненужно.

\* \* \*

Или так: ведет себя, как будто ему был Голос с небес: Фигли-мигли-блядки-штучки-дрючки пре-кра-тить! Смиирна! Равнение на крест! – Так и стоит, сложив руки не по швам, а бестолково и безудержно крестясь.

\* \* \*

Одеревенелость...

\* \* \*

Уходил бы ты, комсомолец, куда-нибудь на гражданскую войну. Если смерти, то мгновенной.

\* \* \*

Я был, как грязно-белый пудель, грязно-бел. Теперь я черен, как черная сука.

\* \* \*

Со мной в этом году все случается такое, что у нормальных людей бывает только в високосные годы.

\* \* \*

Рекламное объявление: «Храните гордое терпенье во глубине сибирских руд».

\* \* \*

И дорогой он всё время: «А это тебя ебет?» Я про Альдо Моро, про коварство Пол Пота и пр. А он одно: «А это тебя ебет?»

\* \* \*

Если б я заполнял анкету, в пункте: что вы больше всего цените в женщине? – я бы ответил: жизнеспособность и невзыскательность.

\* \* \*

Веду себя, как фортепьяно в Бетховенских сонатах, т.е. главное первая часть, а потом (в 1-й и ум, и одежда), а потом – что угодно.

\* \* \*

Ильич: «Теперь надо архиспешить».

\* \* \*

Я не имею ничего общего с действительностью; как всякое провокационное сообщение.

\* \* \*

И все это у тебя так быстро обращается в системность – ты скоросшиватель.

\* \* \*

Погубить меня всякий не прочь.

\* \* \*

Слушая скрипичный концерт Мендельсона. У него скрипка не противоборствует оркестру. Она его (оркестр) гладит по головке, лобзает и ложится с ним спать.

\* \* \*

В ту же коллекцию пушкинских ямбов:

«Цыганы шумною толпою

Толкают жопой паровоз».

\* \* \*

Оказывается, С. Дали называл Арама Хачатуряна: «взбесившийся шашлык».

\* \* \*

Он совсем не сложный, он просто художественный и многосерийный.

\* \* \*

Впервые озлобился Мао, когда отвергнуто было его предложение быть изображенным пятым на славном барельефе.

\* \* \*

Северянин:

«В его значительном ненужьи

Биенья сердца вовсе нет».

(О Вячеславе Иванове)

\* \* \*

Северянин. Одна из самых нескучных и симпатичных форм разгильдяйства.

\* \* \*

17 век: «а он говорил хульные и непригожие слова».

\* \* \*

Отличие Ольги Седаковой от многих. У тех в голосе: все знаю! У этой в голосе ничегонезнание в самом высоком смысле слова. Вытаращенные глаза в каждой реплике.

\* \* \*

Бей Россию. Спасай жидов.

\* \* \*

Кончай экзекуции, начинай вивисекции.

\* \* \*

О владимирцах. Они – растут, а я расти перестал. Они – как ногти мои.

\* \* \*

Уеду куда-нибудь в Стерлитамак и стану нахимовцем.

\* \* \*

ВЧК – век человеческий короток.

\* \* \*

Об этом стиле можно жандармским языком так: «Отсутствие особых примет».

\* \* \*

И не забыть полоумного Феликса. «Феликс! Позвони Андропову, спроси, сколько времени!» Снимает тапок, бормочет в него – полвторого! «Феликс! Позвони Геббельсу, узнай, что на ужин будет!» И т.д.

\* \* \*

«Юродство без душеспасения  
И шутовство без остроты».  
(Тютчев)

\* \* \*

Дебют Веры Инбер. В Париже выходит 1-й сборник стихов «Печальное вино». Хвалит сам Блок. (1912 г.)

\* \* \*

Серб Александр, на мой вопрос – много ли он смеялся при переводе (поэмы «Москва – Петушки». – В. М.), ответил: я больше плакал.

\* \* \*

Игра в желябчики, в каракозочки

\* \* \*

В столице шутят: 99% мужиков любят толстых баб и только 1% – очень толстых.

\* \* \*

Всё пропьём. Гармонию оставим.

\* \* \*

Генрих Белль: «Прогресс совершенно лишен юмора, ибо он оптимистичен».

\* \* \*

«Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен».  
(Фон-Визин)

\* \* \*

Он же: «Государство требует немедленного врачевания».

\* \* \*

Паскаль: «Христос в агонии до скончания мира».

\* \* \*

отличать вымыслы от реалий

\* \* \*

[Свящ.] Фудель: «Церковь есть тайна преодоления сиротства и одиночества» (и заброшенности и бездомности).

\* \* \*

У Власа Дорошевича: «отчизноведение».

\* \* \*

В беседе... с соседом по палате – он отсутствовал много часов и сообщил, что все, с кем он говорил на «Мосфильме» – сценаристы, художники, режиссеры, молодежь, – все хотели бы побывать на моих чтениях трагедии. «Тебе здорово повезло», – сказали они ему. «Я так не считаю», – добавил он мне.

\* \* \*

«то, что можно понимать без большого напряжения ума» (Ф. Нитче)

\* \* \*

Вот еще – летать я совсем не могу и не умею. Ни на помеле, ни на крыльях песни. Etc.

\* \* \*

Сердобольность, которая выше разных «Красота», «Истина», «Справедливость» и прочих понятий более или менее условных.

\* \* \*

Венедикт! Какое незапятнанное имя! Ср. как запятнаны Николай, Александр, Борис и пр.

\* \* \*

Веру со всех взносы, а в сущности никому не нужен. Как профсоюз.

\* \* \*

не имей имущества, а имей преимущество

\* \* \*

удивление, медленно переходящее в подозрение

\* \* \*

не имей зрения, а имей подозрение

\* \* \*

То, что можно говорить только при женщинах в противоположность тому, что при женщинах не говорится.

\* \* \*

Дружба наша – дружба барана с новыми воротами, мир апельсинов со свиньей.

\* \* \*

Чтобы целовать ручки у малознакомых дам, для этого канцлером надо быть. А он канцлер?

\* \* \*

И я умертвлю твою бессмертную душу

\* \* \*

Патриарх Тихон, послание Совету Народных Комиссаров, 26 окт. 1918 г.: «взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая».

\* \* \*

воздействие должно быть тлетворным

\* \* \*

у нее пышная грудь и консервативная натура

\* \* \*

умный, как канделябр, и глупая, как жардиньерка

\* \* \*

Тургенев: «Нет ничего утомительней невеселого ума».

\* \* \*

В Ленинграде, на прогулке: Сколько языков ты знаешь? – Два. Русский устный и русский письменный.

\* \* \*

Здесь у меня – лобное место.

\* \* \*

У Трофима Д. Лысенко – одних только орденов Ленина– шесть. Не считая всех остальных.

\* \* \*

Ленин о христианстве: «Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо менее опасны, чем „тонкая“, духовная, приодетая в самые нарядные идейные костюмы идея боженьки».

\* \* \*

Ночевала сучка молодая  
На груди Исака Левитана

\* \* \*

Валаамова ослица и Буриданов осел

\* \* \*

Юмор переходит всякие границы. Не всякие.

\* \* \*

К вопросу об обладающих 20-ю общими истинами и пр. Самое ненавистное из всех фразеологии: «все ясно».

\* \* \*

Все твои привычки – пагубны. У тебя есть хотя бы одна непагубная привычка?

\* \* \*

Когда Павлу I стукнуло 18 лет, царствующая мать пожаловала ему звание генерал-адмирала (высшее воинское звание России).

\* \* \*

От рук твоих пахнет ногами, но это ничего.

\* \* \*

Мысль должна быть подвздошной.

\* \* \*

Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но зачем ты выпил мой стакан портвейна? Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же ты все-таки выпил? Я понимаю, земля – колыбель человечества, но нельзя же пить стакан чужого портвейна!

\* \* \*

«Почему вы недокушиваете, когда кушаете? Если уж вы решили кушать, то надо докушивать».

\* \* \*

Петр III, идя за гробом Елисаветы, подпрыгивал.

\* \* \*

Мой сверстник нейлон изобретен в Штатах в 1938 г.

\* \* \*

Идя в ванную, составлять список всего, что надо вымыть, и периодически вычеркивать.

\* \* \*

Я ощущал всем своим существом, что это все-таки крепленое вино.

\* \* \*

Русские переводят «Ave Maria» – «привет тебе, Мария».

\* \* \*

В доштраусовское время говорили: «вальс, эта музыка для ног».

\* \* \*

Чем ты сейчас занят? собственными мыслями.

\* \* \*

Мы обречены на честность. Когда они говорят «Нет денег», у них их полный карман. Когда же мы говорим «Нет»...

\* \* \*

система полупрозрачных намеков

\* \* \*

Ты проскакал на розовом коне, а они шли привычной линией.

\* \* \*

И бойтесь данайцев, сказал бы Лаокоон.

\* \* \*

Гегель: «Никто из моих учеников не понял моей системы. Понял только Розенкранц, и то неправильно».

\* \* \*

Они все, паскуды, примиряют «свободу воли» и «генетический детерминизм».

\* \* \*

Фридрих Энгельс почти на столетие опередил Гитлера: «Кровавой мезтью оплатит славянским варварам всеобщая война, которая вспыхнет, рассеет этот славянский зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых наций».

\* \* \*

Быть экононым в жестах доброй воли.

\* \* \*

У нас в паспортах так и записано. У меня: «Недоносок», а у нее: «Пеннорожденная».

\* \* \*

В. Короленко называл из всех национализмов украинский самым бутафорским.

\* \* \*

То, о чем мечтал Флобер: «Написать книгу, которая держалась бы исключительно на внутреннем достоинстве стиля».

\* \* \*

Набокову импонировало в Ходасевиче «высокое качество его язвительности».

\* \* \*

Набоков и Гоголь. «То, что для Гоголя было грехом, т.е. унижением души и оскорблением Бога, для Набокова – преступлением против художественного вкуса». Не имморально, а антиэстетично.

\* \* \*

Душа, захлавленная дребеденью.

\* \* \*

А Бог теперь только тем и занят, что метит великих шельм.

\* \* \*

В «Современнике», где были помещены рассказы Ник. Ник. Толстого, старшего брата Льва, так и написано рецензентом Некрасовым: «Рука Николая Толстого тверже владеет пером (языком), чем рука его брата».

\* \* \*

Юз Алешковский: Нельзя облегчать отчаяние алкоголем. Страдания должны быть чисты...

\* \* \*

На мне все-таки не узда, а недоуздок.

\* \* \*

Я еще не окончательный и обжалованью подлежу.

\* \* \*

Мы очень разных воззрений люди, но таким образом, что меж нами ничто не рождает споров, да и к размышлениям не влечет.

\* \* \*

Кто твой самый любимый певец? – Демьян Бедный, певец пролетарской революции.

\* \* \*

О единицах измерения. Ядовитость измерять в Вольтерах.

\* \* \*

Пригожих людей не люблю, окаянные мне по вкусу.

\* \* \*

Повышение цен на минеральные воды, бенгальские огни и медные трубы.

\* \* \*

Плыть только по рекам, текущим к северу. Фи, этот юг, тьфу, эта Ницца.

\* \* \*

А вы, друзья, как ни садитесь,  
Все в диссиденты не годитесь.

\* \* \*

Салтыков-Щедрин придумал слово «мягкотельй».

\* \* \*

Есть чрезвычайность в этих писаниях и речах, но нет полномочности.

\* \* \*

Я тучен душою. Мне нужны средства для похудания: ничегонеделание, сужение интересов и пр.

\* \* \*

Душою надо полнеть, девки, а не телесами. Поэт Алексей Кольцов, от чего-то там отказываясь, говорил: «От этого душа не пополнеет».

\* \* \*

Я, как стакан, хрупок и тонкостенен. Я многогранен, как стакан.

\* \* \*

Пенная Цветаева и степенная Ахматова.

\* \* \*

Может, ты и Державина будешь называть Гавриком?

\* \* \*

У них содержательные, осмысленные глаза и действующие лица.

\* \* \*

Недурно бы вспомнить. Лепта = 1/100 драхмы. В таланте 6 000 драхм. Итак, 600 000 лепт составляют талант.

\* \* \*

В последние свои годы Гюго всерьез предполагал возможность переименования Парижа в Гюгополис.

\* \* \*

Как говорил Карамзин, «вижу опасность, но еще не вижу гибели».

\* \* \*

И вообще: что значит «последнее слово». Мы живем в мире, где следует произносить слова так, будто они – последние. Остальные слова – не в счет.

\* \* \*

Вот что значит – кончился славный V век до Р. Х. Уже в первый год следующего века (399) был приговорен к вышке 70-летний Сократ.

\* \* \*

Демоны не громяют, они говорят вкрадчивыми голосами. Грохочут только ангелы Господни.

\* \* \*

Кто хочет, тот допьется.

\* \* \*

Моя проза – в розлив с 70 г. и с 73 на вынос.

\* \* \*

Возвращающихся ностальгированных эмигрантов называют подберезовиками.

\* \* \*

Не квартира, а библиотека приключений.

\* \* \*

«И отдал Богу свою маленькую душу».

\* \* \*

Евангелие для меня всегда было средством не прийти к чему-нибудь, а предостеречься ото всего, кроме него.

\* \* \*

Роковое заблуждение Ницше, будто наступило засилье интеллекта и надо спасать инстинкты.

\* \* \*

Относят к числу бестселлеров злопыхательского толка.

\* \* \*

Одна из самых неуважаемых мною добродетелей: догадливость и сметливость.

\* \* \*

Вести звездный образ жизни, т.е. более или менее сиять, иногда падать и пр.

\* \* \*

Не придавать этому никакого успокоительного значения.

\* \* \*

Я люблю дебелих, я дебелогвардеец. Вакханка-пулеметчица.

\* \* \*

Надо все называть полностью. Например, Наримановскую улицу во Владимире называть: улица Наримана Кербалая Наджаф-оглы Нариманова.

\* \* \*

Сделать несколько стахановских телодвижений.

\* \* \*

И еще угораздило родиться в стране, наименее любимой небесами.

\* \* \*

Поэтессы салонные, площадные, уличные, бульварные, скверные и подъездные.

\* \* \*

Когда умчат тебя составы преступлений. Жирный, как шрифт.

\* \* \*

Можно извратить существо любого дела. Давайте мне любое существо любого дела – и я у вас на глазах его извращу.

\* \* \*

Пришедший к абсолюту, т.е. с этих пор обреченный ни разу не поковырять в носу или почесать в затылке.

\* \* \*

Постепенное превращение подкидыша в найденыша.

\* \* \*

Мужчина с несущественным характером.

\* \* \*

Колумб едет, едет и натывается на Соловецкие острова.

\* \* \*

Вооруженщина.

\* \* \*

Слишком все это затянулось. Затянулось, как лобзанье.

\* \* \*

Подошел к осине. – Дрожишь? С тех пор все? Ну дрожи, дрожи.

\* \* \*

Как вспомнишь, что есть нечего, так смех берет.

\* \* \*

Вот еврей – виноват в том, что он еврей. Француз заслуженно родился французом. А быть русским – это легкая провинность.

\* \* \*

А она говорит: я люблю только социально опасных мужиков.

\* \* \*

Заметный рост банкротских настроений.

\* \* \*

Почему я такой большой дядя, а веду себя, как маленькая тетя?

\* \* \*

И как жаль, что у нее только две коленки!

\* \* \*

Я, если мне заглянуть вовнутрь, напичкан экстравагантностями, но чудачком меня никто не назовет.

\* \* \*

Вот какие мы разные. Крот погибает уже после 14-часового голода. Зато клещи могут по нескольку лет совсем не есть.

\* \* \*

Анекдоты: жених, чтоб развеселить публику на свадьбе, нахлобучил на голову чугунок и не смог снять. Доставлен в больницу. Диагноз: «голова в инородном теле». (Было.) Вот и у меня так: голова на инородном теле.

\* \* \*

«На волнах мистики» в «омут порнографии».

\* \* \*

«Катя идет, как пишет. Одной ногой пишет, другой<sup>1</sup> зачеркивает».

\* \* \*

Правда, к тому времени из меня уже будет струиться песок, ну так что же, должно же из человека что-нибудь да струиться, пусть не из души, так хоть откуда-нибудь.

\* \* \*

Меня еще спасает то, что каждый из них – один, а меня много.

\* \* \*

В апреле, в больнице: один интеллигентик-шизофреник спрашивает ни с того ни с сего: «Вениамин Васильевич, а трудно быть Богом?» – «Скверно, хлопотно. А я – то тут при чем?» – «Как же! Вы для многих в России – кумир».

\* \* \*

Баба должна быть совершенно натуральной: понятливой, но одновременно глупой и многогранной. Т.е. быть и тонкой, и толстой, и слепой. И двенадцатиперстной.

\* \* \*

Я такой безутешный счастливчик в кругу этих неунывающих страдальц.

\* \* \*

Не хочу быть полезным, говорю я, хочу быть насущным.

\* \* \*

Она по размерам и роскоши превосходит Версаль.

\* \* \*

Я бы пропил все сокровища Оружейной палаты, оставил бы только бульжник.

\* \* \*

Всю жизнь здесь лежу – но зато бесплатно– у врача спросил: сколько еще лежать? «Пока не подохнешь – бесплатно».

\* \* \*

Хочу быть самым мыльным из всех пузырей.

\* \* \*

Что ж, и я Россию люблю. Она занимает шестую часть моей души.

\* \* \*

Я, например, считаю, что если на Францию правильно глядеть – то она расположена справа, а Германия – слева.

\* \* \*

Почему это я должен быть приятным? Даже и в новой Конституции нет такой статьи – быть приятным.

\* \* \*

Если и стрелял, то только глазами стрелял, если кто острое-доброе скажет. Если и вешал, то буйну головушку на грудь. И топил если, то горе свое в вине топил. И правду-матку резал, а больше никого не резал. А если иногда и насиловал – то разве что факты в угоду предвзятой идее. И т.д.

\* \* \*

Междометия – самые старые из человеческих выражений, поэтому их надо уважать. «Ой» и «тьфу» намного старше Добра и Истины и следовательно почтеннее намного.

\* \* \*

Бертран Рассел, побывав в России в 20 г., обратил, во-первых, внимание на ненавистнический догматизм в большевистских взглядах: «это сулит миру века беспросветной тьмы и бесполезного насилия».

(Рассел, «Практика и теория большевизма», 1920 г.)

\* \* \*

Любимое кантовское изречение Фридриха II: «Умствуйте сколько угодно и как угодно, но пребывайте в послушании».

\* \* \*

Чародейке пусть приснится чародей  
С толстым пузом и с заклепочкой в носу.

\* \* \*

Глядя на меня, у меня волосы встают дыбом.

\* \* \*

А вот еще мнение о трагедии: «это издевательство над человеческим духом, вообще над литературой... Я бы в 5 минут такую сочинил» и пр.

\* \* \*

«Нечего церемониться с иноземцами!»

\* \* \*

ее, мою лапушку, тиснению предавали

\* \* \*

К маленькой плачущей еврейской девочке надо обращаться так: «Ну, ты чего, Ревекка?»

\* \* \*

Поступают охлаждающие суждения о драме («Вальпургиевой ночи». – В. М.): плагиат «Кукушкиного гнезда»; «этот человек внимательно смотрит программу „Время“».

\* \* \*

У меня хоть и серые глаза – но душа, душа у меня черноокая.

\* \* \*

Лондонская «Times» 23 окт. 1917г.: «Большевизм надо лечить пулями».

\* \* \*

Всенародные летние лозунги 1985 г.: «Не дадим отнести зеленого змия в Красную книгу!» и «Белой горячкой по красному террору!»

\* \* \*

В. Делоне «Портреты в колючей раме» (Ср. Терц «Голос из хора»). Блатные о Гамлете: «Тоже он, все на придурка косил, на шизика! Быть или не быть! Надо было сразу мочить короля, а то ходил, ходил, вот и доигрался! Не сумел толком за папаню постоять».

\* \* \*

Ты становишься болтливым, Ерофеев, как всякий немой. Прекратить.

\* \* \*

Я – сторонник труда безударного.

\* \* \*

Меня спрашивают, почему я люблю цветы и птичек. Цветы я люблю за хорошие манеры, а птичек – за склонность к моногамии.

\* \* \*

«Богом не дано – в аптеке не купишь».

\* \* \*

О фатализме знать только по Михаилу Лермонтову, о метафизике по Хемницеру etc.

\* \* \*

меня не лелеять надо, меня надо тютюшкать.

\* \* \*

Чем я занят в свободное время? Высеваю цветы, строю далеко идущие планы относительно АСЕАНа, муссирую миф о советской угрозе.

\* \* \*

Почему она клюенчатая, а шурстит? совершенствоваться в бескорыстии

\* \* \*

О предсмертном жизненном кредо пасечника: «Всё в мире хуйня, кроме пчел. А вообще-то и пчелы – тоже хуйня».

\* \* \*

Байкало-амурское иго и татаро-монгольская магистраль.

\* \* \*

А вечером росистым  
Даем отпор расистам.

\* \* \*

И всё-то у них в ладонях. У Эдуарда Межелайтиса солнце в ладонях. У Мариэтты Шагинян «Столетие лежит на ладони».

\* \* \*

Кто в тереме живет? Я, Венька-вахтер, на язык востер.

\* \* \*

Простим угрюмство. Разве это  
Сокрытый двигатель евонный?  
Он весь – дитя добра и света,  
Он псих и диссидент говенный.

\* \* \*

Але, это автобаза? – Какая тебе к хую, еб твою мать, автобаза? Это Министерство культуры.

\* \* \*

Шутят: чукча – это состояние, русский – это судьба, грузин – это профессия. Еврей – это призвание.

\* \* \*

Впусти меня в твою отверстию Рабинович, вы член партии? – Нет, я ее мозг. С небольшой душой, с деловой головой. могильщики социализма

\* \* \*

да, и Христос говорил: не надо клясться, не надо неверморничать.

\* \* \*

А как пойдешь в гости, возьми с собой что-нибудь искрометное: меня, например.

\* \* \*

Пузо у меня никак не растет. Я должен получать пенсию за непузоспособностью. Пособие по беззаботице.

\* \* \*

Китайский поэт Люнь Тяй.

\* \* \*

А глас ли это народа? А фолькс ли это штимме?

\* \* \*

В самом деле, подростковая глупость – не уважать всякий возврат, со школы вынесенное недоверие ко всякой реакционности («назад к Канту» – дурно, не зная ничего о Канте). Потом уже является относительность всяких vorwärts и zurück. И я бы с Фамусовым выпил. С Чацким бы не стал.

\* \* \*

Это заняло у меня времени совсем немножко. 2 часа. Т.е. ровно столько, сколько длилась полтавская баталия-виктория.

\* \* \*

Надломлены мои мечты, как говорил Валера Брюсов.

\* \* \*

«Великий пост следует кончать ночью до ку-роглажения»

\* \* \*

и родилась в смирительной рубашке

\* \* \*

Ребенок имеет право на смерть, сказал Януш Корчак.

\* \* \*

Гераклит Эфесский говорил о них: глазам и ушам этих людей не следует верить, «ибо они имеют грубую психею».

\* \* \*

И еще Гераклит: «По какому бы пути ты ни шел, границ психеи ты не найдешь: столь глубок ее логос».

\* \* \*

В ихних газетах братство компартий и пр. называют «чудовищной международной мафией».

\* \* \*

Есть чрезвычайности в этих писаниях и речах, но нет полномочности.

\* \* \*

Одно сочинение Плутарха так и называется: «О том, почему божество медлит с воздаянием».

\* \* \*

Мне, конечно, легче сойти с ума, чем им. Я, например, увижу на карте Пакистана: там, где должен быть Исламабад – там оказалось Равалпинди, а там, где прежде было Равалпинди, увижу Исламабад– и все, я сбрендил. А они все даже не заметят.

\* \* \*

Хоть и промерз, а все-таки иду и пою: «Вдоль да по садику, вдоль да по зеленому сизый молодец идет».

\* \* \*

У Островского («Не все коту масленица»): «Нас с малолетства геройству не обучали».

\* \* \*

Я тучен душою. Мне нужны средства для похудания: ничегонеделание, сужение интересов и пр.

\* \* \*

«Божье слово слишком тяжелая роскошь,  
И оно не для всякой души».  
(Эренбург)

\* \* \*

Она невзрачна, но целесообразна.

\* \* \*

Вы – вы, а не богатыри.  
А мы – богатыри, не вы.  
Вы всадники без головы.  
Вы Щепкины. А я – Куперник.

\* \* \*

или, обращаясь к Мельникову:  
Ты – Соловьев, а я – седой.  
Ты – Иванов, а я – Крамской.  
Ты – сер, а я, приятель, сед.  
Ты – Мельников. А я – Печерский.

\* \* \*

И тебе еще рано слушать речи Миттерана.

\* \* \*

А я между тем начал спуск, вошел в плотные слои атмосферы и прекратил свое существование.

\* \* \*

«Есть вещи поважнее, чем мир», – говаривал бывший госсекретарь Александр Хейг.

\* \* \*

Ничего вальпургиево не было в наших ночах. Но вот варфоломеевщина – точно была.

\* \* \*

Да, я пленный. Я пленник своих старых концепций.

\* \* \*

«Достоинство человека – неприкосновенно. Уважать и защищать его – обязанность всех государственных властей» (статья Конституции ФРГ).

\* \* \*

Впрочем, вот мысль: перевести целиком на русский Конституцию ФРГ.

\* \* \*

Наш современник кардинал Баджо: «Господь использует нас, но Он в нас не нуждается» (о смерти папы Иоанна-Павла I).

\* \* \*

Одна из первоочередных задач, говорил Юрий Нагибин, «психологически подготовить нашего современника к изобилию».

\* \* \*

Все будет у всех. У каждого мертвого будет припарка. У каждой козы – баян, у каждой свиньи по апельсину, у барана – новые ворота.

\* \* \*

Самое мое любимое из всех немецких слов все-таки «vorbei», мимо.

\* \* \*

и всего несколько мыслей, но таких приземистых

\* \* \*

Для 1-ой эмиграции – мы тернии, выросшие на развалинах России.

\* \* \*

Когда с него живьем сдирали кожу, он только хмурил брови.

\* \* \*

Их надо ошеломлять чем-нибудь совсем ни к чему не годящимся: например, в дни 11-ой пятилетки клясться в том, что каждая пятилетка будет 11-ой.

\* \* \*

Никакой призрачности. Четкая программа. «Приезжай в Тибилиси, зарежем на хуй».

\* \* \*

Пушкин и Пугачев. И весь этот цветаевский маринад.

\* \* \*

А сырники со сметаной я очень люблю. Больше, чем отчизну.

\* \* \*

Как у Антихриста за пазухой.

\* \* \*

На трибунах мавзолея выставлены были продукты земледелия и животноводства.

\* \* \*

И вообще люблю совершать действия, несовместимые с моим статусом.

\* \* \*

Безвозвратно ушли в прошлое те времена, когда меня не существовало.

\* \* \*

Глядя на абрамцевскую кошечку, вылизывающую своего кутенка. А ты, Ерофеев, кого из своих ближних..?

\* \* \*

А эти поганые мизантропы вот как глядят на осень: а ебал я эту осень, и в туман и в слякоть, и в золото и в багрец.

\* \* \*

А будешь ли ты от грусти меня врачевать?

\* \* \*

Стрельбище в Мытищах имени Жоржа Дантеса. Краковское высшее артиллерийское училище имени Лжедмитрия 1-го.

\* \* \*

я удостоился тернового венца

\* \* \*

В этом нет прелестности, а значит и искусительности нет.

\* \* \*

Гуревич: если прикажет партия, буду иметь три подмышки. Но только как на это посмотрит партия?

\* \* \*

Дессау. Ария торговли рыбой из оперы «Осуждение Лукулла».

\* \* \*

Большая халда, а строит из себя этакую маленькую субрétку.

\* \* \*

Прекрасно у Тургенева: «Русский человек тем прежде всего и хорош, что он сам о себе предурного мнения».

\* \* \*

Национальный герой Греции Недонеебылос.

\* \* \*

Я, конечно, не хочу вводить в заблуждение мировое общественное мнение, но... и т.д.

\* \* \*

А мне наплевать на все потрясения, я сейсмостоек.

\* \* \*

Какой-то мелкий диссидент-художник сказал: «Какая огромная страна Россия, и несчастий навалено на нее по размеру. Видно, такой ее жребий в мире – не жить самой и мешать другим».

\* \* \*

Сальвадор Дали: «Разница между мной и сумасшедшим – в том, что я не сумасшедший».

\* \* \*

Мы враждуем из-за несходства заблуждений.

\* \* \*

Бисмарк: «Бог Всемогущий заботится только о младенцах, пьяницах и американцах».

\* \* \*

ты холодец, студень ты алкаш, играющий в каш-каш

\* \* \*

Если б я строчил на них на всех донос, я б напротив Бориной фамилии Сорокин написал бы *nota bene* и *sic*.

\* \* \*

покрывает, познает и топчет

\* \* \*

Он самый строгий и самый длинный из нас, как л«итургия Василия Великого – самая длинная и строгая из всех литургий.

\* \* \*

Старые индусы о пяти элементах мироздания. Пять элементов твоего мироздания.

\* \* \*

Надо говорить: не пять элементов мироздания, а пять уголовных элементов мироздания.

\* \* \*

Спустя столько лет – опять Анатолий Франс. Почему-то весь этот олимпийский комплекс: невозмутимость, легкое и высокомерное сочувствие, ирония, красавица, etc. – все называлось «мудростью». Скверно.

\* \* \*

Самый верный признак НЕМУДРОГО – бестревожность.

\* \* \*

Глядя на гобелен:  
«Узнаю блядей ретивых  
По их вышитым коврам».

\* \* \*

Заставить трудиться свое воображение. Например, если б ты был введен в семейство Ульяновых, какие книги ты утащил бы из библиотеки семьи Ульяновых.

\* \* \*

Герцен говорил про Станкевича, что тот, «будучи серебряным рублем, завидует каждому медному пятаку».

\* \* \*

У Якова Полонского все трогает, даже пустяковая рифма «косынка-блондинка».

\* \* \*

В знак протеста против жесткости и бессмысленности бытия делаю разные буффонадные глупости («ваши сердца ослепли от вздора», «оглохли от мелкой дребедени») – днями и ночами сидеть на дереве, разговаривать с котом Вовой о каких-то непонятностях. Дебаты с котом. Нет, с черным пуделем. Давать неслыханные обеты.

\* \* \*

В. Шкловский о своей героической жизни: «я соленый и тяжелый от слез».

\* \* \*

Вот какое задание было у Эйзенштейна: «Путь Ивана Грозного был правильный, неправильны были только угрызения совести Ивана Грозного, которые помешали ему стать в памяти народа Великим».

\* \* \*

занят самопочитанием

\* \* \*

Некрасиво отстаивать прописные истины, их и без того ожидает триумф.

\* \* \*

Это не музыка, это причитание по всему, что умерло

\* \* \*

Мне нужно однообразие для избавления от скуки, пестрота зрительных впечатлений нагоняет скуку.

\* \* \*

Архиповы. Союз богословско-философского трактата и неаполитанской тарантеллы.

\* \* \*

Что будет, то будет. Обойдемся без предначертаний.

\* \* \*

Почти всё почти благословляю.

\* \* \*

Относительность всякого знания. 2x2 – сорок один, потом просветление и гигантский прогресс: 2x2 все-таки 13.

\* \* \*

«Полярная звезда». Журнал Герцена и оперетта Баснера.

\* \* \*

Не возвышать голоса, говоря с людьми. С Богом еще можно, но только в положении Иова.

\* \* \*

Фаддей Булгарин, единственный из русских литераторов кавалер Ордена Почетного Легиона.

\* \* \*

По Августину: единственное назначение знания и рационализма – «для ниспровержения неверия», для доказательства ложности того, что людям кажется истинным вопреки христианским догматам.

\* \* \*

Вот еще разница между ними и мною: они говорят мало, чтобы не молчать, я мало говорю, чтобы не говорить много.

\* \* \*

Ты мой хлеб и все мои зрелища.

\* \* \*

Христос для них – дело № 306, господин 420.

\* \* \*

Это о блядах или не о блядах? У Дидро: «Самый счастливый человек тот, кто дает счастье наибольшему количеству людей».

\* \* \*

Еще не родился человек, который захотел бы меня укусить.

\* \* \*

Советские пословицы: «Иконы да лампадки – темноты остатки». «Вера в Бога к земле гнет, вера в себя силы дает».

\* \* \*

Следует исказить существо любого дела. Не родись суетливой, а родись совестливой.

\* \* \*

У меня со всеми своими органами – взаимопонимание и доверие, без мелких обидчивостей. Ср. как у них: не верят глазам, не верят своим ушам, «ноги не повинуются», «я сердце свое захотел обмануть, а сердце меня обмануло» и т.д.

\* \* \*

Изобретатель мороженого – Александр Македонский.

\* \* \*

Полуостровом сокровищ называют Таймыр.

\* \* \*

Что в сущности дали нам арабы, кроме своих арабских цифр и – через Испанию – кастаньет?

\* \* \*

Вот видишь. Меня называют одним из душевноталантливейших людей России, а ты меня шпыняешь, пиздюк малосольный.

\* \* \*

А. Н. Толстой о своем великом однофамильце: он, мол, пишет блестяще, когда пишет о том, что он видит. «Но когда он пишет об отвлеченных вещах, он не видит, а думает. И если б он думал так, как думает товарищ Сталин, то, наверное, он не затруднился бы во фразах».

\* \* \*

Он рассматривал христианскую идею как очистное сооружение.

\* \* \*

Опять о продуктивностях. Общая площадь художественных произведений Диего Риберы – 5 тысяч квадратных метров.

\* \* \*

Нужна, как сказал Гораций, мера, – норма, как сказал Беллини.

\* \* \*

Одно и то же надо вам твердить сто раз, как сказал мельник.

\* \* \*

О нынешнем режиме. В погребе ихнем темно, в кухне темно, дверь ни одна не скрипит. Итак, глазки скорее сомкни.

\* \* \*

Тяга изблядовавшихся и грехом изнуренных к длинноволосой пылкости моралистов. «Комплекс Магдалины».

\* \* \*

И. Во. «Добро пожаловать в царство хаоса и вечной ночи».

\* \* \*

На мне, длинном, как мачта, повисла, распущенная, как парус.

\* \* \*

с принужденной грацией

\* \* \*

Виктор Буренин, автор либретто «Мазепы». Яков Полонский, либреттист «Черевичек».

\* \* \*

Еще из всех необходимых минимумов – минимум желторотости. Если это и повредит, то только в житейском смысле.

\* \* \*

Русское поле, березовый сок, аксессуары Инны Гофф.

\* \* \*

И опять Тютчев. Иисус, если б ходил вокруг озера какого угодно, рыбарей-дураков, может быть, и увидел бы, а вот мусикийского шороха в прибрежных камышах... и т.д.

\* \* \*

Лучшее, что я прочел в этом году – маленький рассказик И. Во «Коротенький отпуск мистера Лавдэя».

\* \* \*

Сенека в письмах: «Несчастлива душа, исполненная забот о будущем».

\* \* \*

Об одном только я попросил Господа Бога – «в виде исключения» сделать это лето градуса на полтора попрохладнее обычного. Он ничего твердого мне не обещал.

\* \* \*

Казахстанская степь. Уважение ко всякой необитаемости, ко всякому бездействию. Лишенности всего, кроме форм протяжения. Представ перед Господом, ей не в чем будет себя упрекнуть. А действуя, есть риск несколько раз сплеховать.

\* \* \*

Сказал бы про тебя этот дурачок Аполлон Григорьев: «Ты Евы лукавой лукавая дочь».

\* \* \*

Чего там развенчивать (меня, например) – вначале еще увенчать надо – увенчан ли?

\* \* \*

Сначала воззвать к справедливости, потом к рассудку, или сначала к рассудку, потом к справедливости?

\* \* \*

А вот еще коктейль: «Божья роса».

\* \* \*

Ее взгляды на вещи за истекшие два года осунулись, стали поджарыми.

\* \* \*

Права, которых следует добиваться: право на меланхолию, щегольство, бездуховность, etc.

\* \* \*

Он пениться стал, переливаться и потрескивать

\* \* \*

Идешь направо – дурь находит, Налево – Брежнев говорит.

\* \* \*

Какое омерзение не сама экзекуция, а то, что в нее вносится привкус порядка, точности и красоты.

\* \* \*

Академик Шевырев превозносил до небес мелюзгу. А о Тургеневе и Гончарове – бездари. Лермонтов – самый ничтожный стихоплет и пр.

\* \* \*

Ср. Надеждин и Греч о Пушкине.

\* \* \*

Самый громкий и самый читаемый во Франции писатель 1850-60-х гг. – Понсон дю Террайль.

\* \* \*

В книжном магазине: Сергей Орлов, Сергей Смирнов, Сергей Васильев, Сергей Викулов, Сергей Баруздин, Сергей Наровчатов.

\* \* \*

Этак и любой крысенок будет бахвалиться, что побывал в постели княжны Таракановой.

\* \* \*

Прежде на Руси в ходу было понятие «болванопоклонник».

\* \* \*

люблю буржуазных писак

\* \* \*

она отказывается от сочетания с ним, пока тот не изживет свои идейные заблуждения

\* \* \*

Надя Крупская любила говорить: «Я не спец по стихам».

\* \* \*

А потом – «станешь прахом, тенью и преданием» (Персии).

\* \* \*

Если архитектура застывшая музыка, то Дмитрий Шостакович сажает на Дворец Съездов химеры Нотр-Дама.

\* \* \*

А. Н. Толстой в 1937 г.: «Мы поднимаемся все выше и выше к вершине человеческого счастья».

\* \* \*

А. Н. Толстой в 1938 г.: «Кто старое помянет – тому глаз вон. Глаз вон вредителям, тайным врагам, срывающим нашу работу, – это уже сделано, глаз у них вон».

\* \* \*

Из БСЭ, 1940 г.: «понятие буржуазного права. В советском социалистическом уголовном праве термин „политическое преступление“ не употребляется» (статья «Политическое преступление»).

\* \* \*

Германия. 1 мая 1934 г. Всенародно отмечается первомайский праздник, с вождями. По улицам и площадям проходят под звуки «Интернационала» с другим текстом. У всех на груди – значки с портретом Гете, в обрамлении серпа, молота, черного орла и свастики, – значки, специально отчеканенные для масс.

\* \* \*

«Дай руку, товарищ далекий», как сказал Сигизмунд Кац.

\* \* \*

В ботанике есть понятие «полупаразиты».

\* \* \*

Гильгамеш говорит царице Иштар: «Давай перечислю, с кем ты блудила!»

\* \* \*

«Дьявол же раздул ее чрево воздухом и дыханием и иными вещами».

\* \* \*

«Трагедия Анны Карениной сегодня уже пустое место, потому что колесо паровоза, под которое легла голова Карениной, для современной женщины не может разрешить противоречия любовной страсти и общественного порицания» (А. Н. Толстой).

\* \* \*

Она отбросила меня, как Жорж Марше отбросил концепцию диктатуры пролетариата.

\* \* \*

Не то, чтобы «без царя», а междуцарствие в голове.

\* \* \*

Ломброзо: «дело не в чувственности, а в нравственном идиотизме».

\* \* \*

Мысли, если и являются, не найдя за что зацепиться, соскальзывают туда, откуда пришли, не потревожив головы и не испугнув душу.

\* \* \*

По сообщению статистики, каждый тысячный человек на земле абсолютно глух (0,1%) – наполовину глухих в 4-5 раз больше.

\* \* \*

А. Н. Толстой в апреле 1938 г.: «Наш советский строй – единственная надежда в глухом мире отчаяния, в котором живут миллионы людей, не желающих в рабских цепях идти за окровавленной колесницей зверского капитала».

\* \* \*

Иди. и миротвори, безрассудный!

\* \* \*

Ну и что же, что безнравственна поэтесса? Кукушечка вот тоже безнравственна: свои яйца подкладывает и удирает. А кукует славно.

\* \* \*

Я был в те дни «вирусом беспокойства», по терминологии Кёппена.

\* \* \*

Плыви отсюда, бригантина! Плыви, раздувай паруса!

\* \* \*

Вот как привораживают в Верхнем Пфальце: парень должен до крови оцарапать руку девушки лапкой зеленой лягушки, пойманной в день апостола Луки.

\* \* \*

А вот так в Италии: девушка берет ящерицу, топит ее в вине, сушит на солнце и толчет в порошок. Затем этим порошком осыпает того, кого следует.

\* \* \*

как сорок тысяч племянников

\* \* \*

– Молоко я предпочитаю бруцеллезное. Есть у вас бруцеллезное молоко? Нет? Тогда ничего не надо.

\* \* \*

Высшей мерой наказания в государстве должно быть, например, такое: за обедом лишить человека положенного ему куска дыни или порцию бланманже уменьшить.

\* \* \*

Моя профессия – тужить и кручиниться. Все дни должны быть черными. Ни одного нечерного дня.

\* \* \*

Из циркуляра министра просвещения (XIX в.): «Для спасения благомыслящих не щадите негодяев».

\* \* \*

свежие формы идиотизма, москвичи с уездным складом мышления

\* \* \*

И философ (Маритен) сказал: «Повернувшись спиной к вечности, разум в современном мире руководствуется сотворенным». Так вот. Повернемся спиной к сотворенному – обратимся к вечности.

\* \* \*

Россия ничему не радуется, да и печали, в сущности, нет ни в ком. Она скорее в ожидании какой-то, пока еще неотчетливо какой, но грандиозной скверны, скорее всего возвращения к прежним паскудствам. Россия – самая незащищенная из всех держав мира, незащитнее Мальты и Сан-Марино. Можно позавидовать Великому герцогу Люксембургскому Жану, но завидовать Мишелю Горбачеву никому не придет в голову.

\* \* \*

Мне-то, собственно, что? Одной ногой я уже в гробу, а другой – в могиле.

\* \* \*

Мне нравятся и те, и другие, обе половины нашего общества поэтичны. Одни «бегут, и блещут, и гласят», другие, подрагивая и скрипя, идут привычной линией.

\* \* \*

О взаимной приязни партии и народа много говорить не приходится. Один мой приятель, отец трех малолетних детей, – когда узнал в семьдесят не помню каком году о крутом

повышении цен на шоколадные конфеты, какао и пр., с удовольствием потирая руки, взволнованно ходил из угла в угол и все повторял: «Так им и надо! Так им и надо!» Не детишкам, разумеется.

\* \* \*

Странно стали выражаться русские люди. Георгий Марков, например. «Этот курс целиком и полностью вписывается в стратегическую концепцию духовного ускорения». Он – враг «идейной нечеткости» и отсутствия «идеологической насыщенности»...

«Но русская душа прозрачнее Ватто» (Игорь Северянин).

Екатерина II: «Кто хочет писать, тому следует думать по-русски».

\* \* \*

Нам весело не пьется,

Мы песенку поем,

А в песенке поется

О том, как мы не пьем. Тра-та-та и т.д.

Справились с разрухой, тифом, левым и правым уклонизмом, с белой гвардией, поволжским голодом, с символизмом и акмеизмом в литературе, с абстракционизмом в живописи, с авангардизмом в музыке, даже с православием, даже с нацизмом (но тут не их заслуга и т.д.)... Но все теперь возвращается, кроме брюшного тифа и белой гвардии.

Так что борьба с алкоголизмом у них не пройдет... Введение этого закона – причудливая форма пусть не лагерности, но, как говорили в суворовские времена, «гауптической вахты». И, конечно же, это очередное испытание русских на их хроническую готовность к лишениям, на верность, подлость и бессловесность.

\* \* \*

Начиная с весны 85 года мне отчего-то становится все лучше и лучше с каждым днем. На мой взгляд, пока еще не поздно, пора снова начинать деградировать.

\* \* \*

Что Вам приходится в 89-м г. делать чаще: плакать или смеяться? – Ну, я почти всякий день нахожу достаточно поводов и для того, и для другого. Сегодня, допустим, хохотал над перепиской Максима Горького. Уже автор «Если враг не сдается...», он пишет деловое письмо маститому французскому литератору, симпатизирующему Российской компартии: «Дорогой учитель и друг!.. и т.д.». А тот отвечает Максиму: «Дорогой друг и учитель! Я получил Ваше благоуханное письмо, полное цветами и ароматами, и, читая его, я как бы бродил по роскошному саду, наслаждаясь дивными тенями и световыми пятнами Ваших мыслей, уносивших меня улыбками в голубое небо раздумий».

\* \* \*

В самом деле, никого нет более прозрачного и беззагадного, чем русский.

\* \* \*

Покажи палец – рассмеется, помани дет, ткни – и развалится.

\* \* \*

В этом мире честных-честных людей что делать мне, любящему говорить неправду?

## Виктор Ерофеев

### Об авторе:

*Роман больше меня...*<sup>104</sup>

Виктор Ерофеев - участник скандально известного журнала "МетрОполь", автор многих произведений, среди которых роман "Русская красавица", вызвавший большой общественный резонанс. Сейчас его чаще всего можно увидеть в авторской передаче "Апокриф", где вместе с известными деятелями культуры, искусства, писателями бывший скандалист спокойно обсуждает вечные темы.

Российская газета: Кто же такой Виктор Ерофеев?

---

<sup>104</sup> Интервью "Российской газете" от 19.09.2007. Беседовала Мария Третьякова.

*Виктор Ерофеев: Русский писатель. Это самое простое, что приходит в голову. И мне кажется, это исчерпывающая формулировка. Все остальное — отвлечения, дополнения.*  
*РГ: Тем не менее есть два разных образа: Ерофеев — ведущий «Апокрифа» и Ерофеев — бунтарь и скандалист.*

*Ерофеев: В «Апокрифе» я проще. Прежде всего этого требует телевизионный формат. Идет живое общение, нужна стремительная реакция. В «Апокрифе» я обсуждаю интересующие меня темы с интересующими меня людьми. Это возможность выйти из изоляции, в которой так или иначе находится каждый писатель. Это настоящая вакханалия умных людей. Получается разгерметизация, как в подводной лодке. Только там это приводит к катастрофе, а здесь — наоборот. А читать меня надо, по возможности зная, за что взялся, так как в моих книгах есть вещи, которые следует воспринимать очень осторожно.*

*РГ: Ерофеев времен «МетрОполя» и «Апокрифа» — в чем различия? Что ушло, а что осталось?*

*Ерофеев: «МетрОполь» — это была моя армия. Как других призывают служить в армии, меня призвали к бурной общественной деятельности. Эта активность была связана с тем, что наше поколение конца 70-х годов не могло себя никак выразить в литературе. За нами так плотно следили, что в конце концов не мог не произойти бунт. Это было серьезное испытание. Своего рода «Как закалялась сталь». Благодаря этому многое лишнее, наносное впоследствии отошло. Благодаря «МетрОполю» я понял, кто я такой, что я хочу, куда я иду. Сейчас, конечно, другая пора. Сейчас я могу делать то, что мне интересно, что я считаю нужным. Если раньше было испытание ограничениями, то теперь — большим количеством возможностей. Это крайности, но они сходятся. И там, и там — испытание.*

*РГ: Не устали от испытаний?*

*Ерофеев: А это уже входит в систему жизни. К примеру, как человек учится водить машину? Для него это тоже испытание: не проехать на красный свет, не сбить пешехода. То есть это неизбежно. И потом это ведь не какая-то суета-беготня. Если ты писатель, у тебя есть определенное назначение, тайна. Не бывает так: просто сел и написал. Должно прийти то, что в XIX веке называли вдохновением. Кроме того, его ведь нужно еще и расшифровать. Оно же не приходит как подарок с неба. Надо понять, чего от тебя хотят. Именно поэтому литература и остается тайной.*

*РГ: Вы свои книги перечитываете?*

*Ерофеев: Приходится. Выходят новые издания, переводы, поэтому волей-неволей приходится.*

*РГ: А для удовольствия?*

*Ерофеев: Когда перечитываешь, встречаются такие вещи, которые как будто не мной написаны. Если пишешь не о себе и тех вещах, которые сам видел, если опыт приходит со стороны, то это и есть самое большое удовольствие. «Русская красавица», к примеру, написана от лица женщины. Сейчас по ней ставят спектакль в Ленком. И когда смотришь на это, приходит мысль: поразительно, насколько этот роман больше меня.*

*РГ: Сейчас что-нибудь пишете?*

*Ерофеев: Скоро выйдет моя новая книга «Мировая душа». Она о том, что я видел в мире. О разных странах, разных людях.*

*РГ: Что вы скажете о современной литературе?*

*Ерофеев: Если брать русскую литературу, то с точки зрения мировых масштабов она довольно качественная. Когда приезжаешь на международные писательские тусовки, видишь несколько англичан, французов, американцев и с десятков наших соотечественников, которыми вполне можно гордиться. А с точки зрения истории литературы мы, конечно, нищие абсолютно! У нас были такие периоды, как Золотой, Серебряный века, и то, что мы имеем сейчас по сравнению с этим, — копейки. После*

Виктора Пелевина у нас не появилось ни одного писателя, способного создать свой собственный литературный мир.

РГ: Что вы думаете о детской литературе? Сейчас говорят о ее вырождении. Что своей дочке читаете?

Ерофеев: Только классику! Потому что с ней не сравнить то, что есть сейчас. Взять хотя бы Агнию Барто с ее потрясающим стихотворением: «Уронили Мишку на пол, Оторвали Мишке лапу, Все равно его не брошу, Потому что он хороший!». За этим Мишкой непонятно что стоит. То ли это у нее любовник был, которого она в трудный момент не бросила, то ли это просто детский стишок про игрушечного медведя. Весь мир в этом. Она, может быть, даже сама этого не осознавала. Сейчас я не вижу детских писателей подобного уровня.

РГ: А самому не хотелось для детей написать?

Ерофеев: Хотелось не хотелось — это не те слова. Это либо приходит, либо нет. А не так, что смотришь на дочку и думаешь: «Дай-ка я тебе стих напишу!». Это было бы слишком просто.

РГ: А «Гарри Поттер», по которому все сходят с ума? Как вы к этому относитесь?

Ерофеев: Нормально. Я не понимаю всю эту истерику вокруг него. Но сама книга имеет, на мой взгляд, очень большое значение. Англия ведь прагматическая, рациональная страна. И вдруг именно здесь появился этот волшебный мир. Получается, когда в реальности мало волшебства, рождается волшебство в книге.

РГ: Как будете отмечать юбилей?

Ерофеев: Я никогда не праздную свои личные праздники. Мне кажется, это как-то нескромно. Я живу другими измерениями. И мое творчество никак не связано с возрастом. Получится, буду писать сейчас, нет — подожду более подходящего момента. У меня нет никаких эмоций на этот счет, ни положительных, ни отрицательных. Жизнь вообще — странное явление. Она кажется то длинной, то короткой, все как-то по-разному. Взгляды, пристрастия постоянно меняются. Сейчас мне хочется, чтобы все шло тихо и спокойно.

РГ: Если бы был шанс вернуться назад и исправить что-нибудь, воспользовались бы?

Ерофеев: Ну, это уже из области Гарри Поттера. Конечно, было сделано много ошибок, но что ж теперь делать? Можно банально сказать: на ошибках учатся. Пиаф пела, что надо ни о чем не жалеть. Мне кажется, это слишком пафосно. Человек всегда о чем-то жалеет, это нормально. Главное, чтобы не оставалось горечи.

РГ: Одним словом, ваша жизнь...

Ерофеев: Счастливое испытание.

## **Виктор Ерофеев<sup>105</sup>**

### **Жизнь с идиотом**

Друзья поздравили меня с идиотом. Это, сказали они, НИЧЕГО. Обнимали, тискали, целовали в щеки. Я растерянно улыбался, голова кружилась, мелькали руки, улыбки; я целовал друзей в щеки, обнимал их и тискал. Клубились пары дружбы. В сладковатых парах голова моя была шаром, а туловище и ноги - ниточкой, намотанной на пиджачную пуговицу. Я подпрыгивал и подергивался. Странное, скажу вам, чувство. Отвратительное состояние нестабильности. Таким я себя запомнил в день наказания. Друзья признались, что опасались худшего, что были все основания опасаться худшего, а тут на тебе - жизнь с идиотом; наказание легкое, необременительное, можно даже сказать вовсе не наказание; смотря, конечно, как смотреть, так вот, если смотреть сквозь прореху наших времен, то в таком наказании угадывается тайная форма доверия (тебе все-таки не все пути закрыты!), новый род жизнедеятельности, скорее поручение, чем порицание. Словом, миссия. Тем более, добавили друзья, что предоставлен выбор. Они проявили к Тебе снисхождение... Я насторожился. Не проявляют ли друзья ко мне снисхождения? Ну, знаете ли, сказал я,

жизнь с идиотом - тоже мне подарок! Не нужно мне ничего снисхождения! Вы замечаете: здесь был намек. Отдайте мне мое наказание. Это мое наказание. О нем судить мне, а вытискайте меня и обнимайте, и я вас тоже буду тискать и обнимать. Я был мнителен в ту зиму, мнителен и беспокоен, и мир опрокинулся в мою мнительность, границы между предметами размылись; курились сладковатые пары. Друзья с новой силой меня целовали, и я целовал их - так мы целовались. Целуя, друзья говорили: старик, есть счастье в несчастье. Чего греха таить, тебе всегда несколько недоставало сострадания; слабовато - дружески щурились друзья, - у тебя с этим делом, по этой части. И моя несчастная жена тоже кивнула: слабовато. Ну, слава богу, - сказал я с наигранным чувством, ну, слава богу! Наконец-то я понял, за что меня наказали: за недостаток сострадания. Поднялся смех. Мы все наслаждались моим остроумием. Мы чокнулись. Мы много и вкусно ели. Однажды лопались рябчики в сметане. Так мы их съели. А почему бы нам было не съесть рябчиков в сметане? В сметане они были совсем как живые. Я не спорил с друзьями. Не видел в том проку. Я вынашивал свой идеал идиота. Совсем не хотелось брать какого-нибудь случайного олигофрена: оплывшее пористое лицо, заплеванной подбородок, подергивание исковерканных рук, мокрые штаны. Загромождение жизненного пространства и ничего больше. Я мечтал о совершенно иной патологии - блаженной, юродивой патологии, народной по форме и содержанию. Я представлял себе степенного лукавого старца с востреньким глазом цвета выцветшего неба. Пьет чай вприкуску, лик светлый и чистый, а набежит рябь безумия - сам дьявол мутит. Амбивалентный такой старичок. И возни с ним мало, и помрет, глядишь, скоро. А с олигофреном поди справься. Как забьется, паскуда, в припадке... Ну, может быть, мой идеал был не совсем уж моим - заимствования, разумеется, присутствовали: загорская паперть мерещилась, да и пьем все мы с детства одной то же литературное молочко... только я не хотел, сбивать на нем масло! Я старичка решил выбрать - коли мне предоставили выбор - не ради эксперимента и не для отвлеченного изучения, и не для химического анализа молочка наших общих кормилиц - к той памятной зиме из меня выветрился полемический задор - короче, я собрался взять блаженного не для развлечения (в паскалевом смысле словечка), а по нутряному, жизненному расчету. Страшно жить на белом свете, господа! Ну, вот - и отрыгнулось. Простите великодушно. У меня была новенькая и весьма сносная жена. А старая умерла. От скарлатины. Ей неверный диагноз поставили и неверно лечили. Она умерла. Я вдовец. И новенькая тоже умерла. Несчастливая женщина! Как она любила Пруста! Ей бы читать и читать до счастливой старости Пруста и готовить мне жульенчики из шампиньонов! А ее зверски убили... Иногда я путаю умерших жен. Иногда вздрагиваю: постой, разве первая не любила Пруста? Меня охватывает страх: кажется, они обе любили Пруста... Вова выскочил в комнату, держа в руке огромные кухонные ножницы секатор, которым она - она привезла секатор из ГДР - расправлялась с дичью. Это был ее любимый секатор, а Вова завел привычку стричь им себе ногти на ногах. Ну, какой хозяйке такое понравится? Так вот, представьте себе, Вова выскакивает в комнату, щелкая секатором, а я сижу, худощавый и голый, и пью, как ребенок, томатный сок. Вова схватил жену за волосы, завалил на загаженный ковер и стал отстригать ей голову. Выражение лица при этом у него было назидательное. Я так возбудился, я так возбудился, я так подсакивал на кресле, что весь облился томатным соком. Я хлопал себя по груди и кричал, чтобы Вова отрезал мне воспаленные органы. Вова, отрежь, не могу! Вова был занят и даже не обернулся. - Эх, - наконец крикнул он и показал мне трофей с назидательным видом. Я сидел, облитый томатом и малофьей. Я снова был вдовцом. Эх, Вова, Вова! Где ты теперь, Вова? Где? Чует мое усталое сердце, что ты жив. Ты всех переживешь, дурачок ты мой родненький. Что с тобой делается? У кого ты теперь в идиотах? Как служится? Не бьют? А меня, Вова, бьют. Это, знаешь, такая скотина. Величает себя Креггом Бенсоном, но мне сдается, что он - цыган, у него зуб золотой, а достался я ему по великому благу. Он - сумасшедший, Вова. Я знаю. Но что он, любитель, по сравнению с нами, гордой кучкой профессионалов! Прощай, Вова. Это я -

твой сын. Итак, любезный мой читатель, позвольте мне вернуться к описанию описываемых событий. Я - литератор, знающий себе цену, и своего читателя в обиду не отдам. Я расскажу вам о красивой жизни. Снег, солнце, синие тени осин. Минус тридцать пять градусов. Трупки замерзших ребятишек. Тишина. Только изредка, будто совсем невзначай, с разлапистой ветви царственной ели, современницы монгольских набегов на Русь, ели-прародительницы и великомученицы, ели-покровительницы и заступницы, чьи корни навечно ушли в родимую почву, упадет шишка, всем видом своим похожая, как отметит вдумчивый натуралист, на коричневую колбаску собачьего говна, упадет еловая шишка в снег, подымутся мириады слабо заметных невооруженному глазу снежинок, словно сказочный гость брызнул вам в очи бриллиантовой пудрой, брызнул - и растворился в морозной дымке, а вы все стоите в полном восхищении, околдованные этим дивным явлением, не в силах пошевелиться, стоите и ждете продолжения чу да, а стайка небольших певчих птиц из отряда воробьиных уже, конечно, тут как тут, щебечет, переговаривается между собой на своем смешном, непонятном человеку наречии, будто они сюда совещаться слетелись по какому-то очень важному для всех них делу. Щебечут красногрудые усатые самцы, перебивая друг дружку, вон двое вроде бы даже повздорили, крылышками друг на друга замахали, а другие как бы смеются над ними и журят драчунов - так на совещании в кабинете директора металлургического комбината вдруг напустятся друг на друга, как петухи, два молодых начальника цеха, горячие головы, один кричит: "Ты мне план срываешь!" а другой в ответ: "Я из-за тебя партбилет ложить на стол не желаю!" - но постучит по столу карандашом выдавший не одну такую потасовку директор, да рассмеется славным мужским баском представительница райкома, в строгом костюмчике сидящая у окна, - и глядь: бывшие однокурсники, любимцы и гордость предприятия, сами не рады, что погорячились; и вот, подстрекаемые товарищами, они спешат друг к другу со смущенными, пристыженными лицами, на щеках у них алеет багрянец, и вот они уже сцепились в объятьях, и директор не в силах справиться с волнением, он говорит: "Черти вы драповые!" и звонит по телефону в Москву; и если вы наблюдательный фенолог, а не просто заблудившийся и продрогнувший до костей горелыжник, который, как онанист о фигуре влагилица, только об одном и мечтает: как бы скорее выйти на просеку, ведущую к автобусной остановке, и уехать в город, подальше от лесных чудес, то вы непременно заметите, что и среди снегирей есть свой директор, имеющий непререкаемый авторитет в отряде воробьиных, и стоит ему только защелкать языком, как драке конец, и тогда он выскажется в рамках, так сказать, птичьей производственной летучки: так, мол, и так, летим дальше - и снегири полетят, и с оживленными чуть ли не весенними лицами спланируют на вас и выключают вам ваши восторженные глаза наблюдательного фенолога. Вот и мой Марей Марейч должен был пострадать. Кончился мертвый час идиота! Меня угнетал и преследовал образ воздушного шара с ниткой, намотанной на пуговицу клетчатого пиджака. Искал ли я иной привязи? Ну, тут не все так просто. Да, я собирался растолочь блаженного старикашку; как золотой корень, в ступке и сделать из него живительный отвар, но это вовсе не означает, что я хотел, заторчав, соскочить прямо на площадь Небесного Иерусалима, где, как пишет советский околочерковный поэт:

"Русский дух целует Бога в губы..."

Мерзкий, надо заметить, стишок. Нет, боголожеское сретенье меня не прельщало. Эстетика, что называется, восстала. В игольное ушко послала меня эстетика. Не пролезал я в него, хоть плачь. Я к поэту наведалься в гостя. А ты, я говорю, как пролез? Чего, говорю, молчишь, поделись с товарищем, отвечай, говорю на вопрос. Он только смеется глупейшим смехом: одолжи, говорит, пять рублей на любимый напиток. Распили мы с ним бутылку, закусили дунайским салатом. У меня, говорю я ему, жена умерла от скарлатины. Увижусь ли я, говорю, с женой Машей? Увидишься, - глупейшим смехом смеется он, - непременно увидишься, не бзди... Тут такое началось! Желудок пытался сладить с дунайским салатом. Дунайский салат пытался сладить с желудком. Вышел

пренеприятнейший компромисс. А рехнуться я был очень непрочь, я, можно сказать, просто жаждал рехнуться, и на старикашку в этом смысле сильно надеялся, ставил я на Марeya Марейча. Я хотел сойти, сверзиться с ума, сверзиться - а дальше видно будет. Так, собственно, по моему хотению и вышло. Я сверзился и растянулся. Да еще как! До сих пор костей не соберу. Ха-ха-ха! Но спасибо голубчику Крегу. Спасибо его урокам. Это строгий хозяин. Я начинаю вновь владеть пером. Я приблизился к истине. И я ничуть не жалею, что растянулся, растянулся - и хорошо, и прекрасно! Я НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ. Ну, жаль, конечно, выбитых зубов, да зверски убиенной, но имени не помню. Провалы. Стремительно приближаюсь к истине, потому и провалы. Однако помню, это помню, как Вова откусил ей секатором голову. Это как маяк для отлетевшей памяти. Мы с Вовой стоим в лучах маяка. Голые, возбужденные, любящие друг друга мужчины. Мы - памятник. Моя новенькая жена сама виновата, что я выбрал Вову. Она позже говорила, что, если бы поехала со мной, то выбрала кого угодно, но не Вову, что Вову бы она никогда не взяла под угрозой истерики, но она не поехала, потому что не завелась по причине сильного мороза и ветра, дунувшего из недр Ледовитого океана, так что я пересел в кабину такси и на выборы прибыл один. Сторож встретил меня неприветливо, руладой похмельной брани. - Раньше надо было приходиться. Я уже запер. Я взглянул на часы. Половина десятого утра. Я изумился. - Я думал, напротив, что вы еще не открылись, - с любезной гримасой сказал я. - Думал! - фыркнул он. - А ты не думай. Ты делай, как положено, а не думай! И он пошел прочь, скрипя по снегу большущими черными валенками. Младший чин. Выходец из простонародья. Почему-то эти выходцы меня всегда сильно недолюбливали, почему-то мой вид был всегда им в тягость, их от меня передергивало и мутило, словно от стакана одеколona или от сильно выраженного еврея. Я к этому привык и не огорчился, и не стал подмазываться, как бывало раньше: мол, братцы, а я что? не свой? Я - чистокровнейший свой, не дворянских, ебенать, кровей... Я только плечами пожал и поперся вслед за выходцем, суля ему на бутылку. Он остановился в некоторой нерешительности, соображая, что слаще: власть надо мной или водка. Я поспешил накинуть еще одну поллитру. Он даже глазами блеснул. И вдруг меня охватил приступ - но не понимания и не жалости, нет, ничего подобного не произошло - меня охватил приступ острой, инородческой неприязни... "Это что-то новое,- подумал я и мне стало не по себе. - Неужто я опоздал с Мареем Марейчем?" - Пошли! - хмуро сказал выходец. - Пошли! - хмуро ответил выродок. И мы пошли. Это было большое подвальное помещение, залитое мутно-красным светом. На лавках вдоль стен сидели многочисленные идиоты. Иные слонялись по зале, раздвигая лбами спертый горячий воздух. Каждый был занят своим делом, своею думой, и никто не обратил на нас со сторожем ни малейшего внимания. В общей сложности их было около сотни. - Ну, кого берешь? - нетерпеливо спросил сторож. - Подожди, - сказал я и неспеша пошел вдоль лавок, борясь с духотой. Здесь был собран разный люд: молодые и старики, худосочные доходяги и крепыши-мордвороты, пришибленные мягкотелые тихони, холерикинепоседы, оцепеневшие тяжеловесные изваяния. Кто бормотал, кто выл, кто пел, кто спал, кто жрал какую-то слизь из миски, кто улыбался, глядя прямо перед собой, а кто хныкал, капризничал, вывернув губы, кто ловил блох, кто дрочился, пуская слюну, кто, связанный, лежал в углу и был наказан. В центре залы два молодых коренастых начальника цеха - мои друзья из развернутого сравнения - бесшумно вальсировали, неотрывно глядя друг другу в глаза с тяжелым чувством запредельного наслаждения. Я оторопел от галлюцинации и забеспокоился. Поскорее выбраться отсюда! - Этого не возьмешь? - спросил настигнувший меня сторож. Он держал за руку вертлявого верзилу с совершенно сбесившимися мускулами лица. По лицу без устали проносились, сменяя друг друга, картины самодовольства (ну, прямо дуче!), отчаянья, страха, покорности, нежности и бог весть еще какие картины. Сторож хрипло расхохотался. Он, стало быть, шутил. - А юродивые у тебя есть? - спросил я, приветствуя шутку понимающей улыбкой. - Так все они юродивые, - удивился сторож. - Мне бы, знаешь, какого-нибудь блаженного... - Ты

что, сволочь, ссышь тут! - рывкнул сторож и бросился тузить ссавшего. Я пустился на поиски блаженного, но то ли едкое красноватое освещение, усугубляющее уродство лиц, мешало, то ли физическое многообразие идиотизма отвлекало меня, толи, наконец, одурел я от духоты только нигде не было моего Марья Марейча... Мой взгляд упал на высокого парня лет тридцати. Он сидел на лавке, скрестив руки, и пел глумливым фальцетом:

Во поле береза стояла, Во поле кудрявая стояла. Лю-ли, лю-ли, стояла...

Красные волосы спускались ему на глаза. Я подумал почему-то, что он слепой, но он усмехнулся, перехватив мой взгляд.

Лю-ли, лю-ли, стояла....

У него было узкое, вполне человеческое лицо; только оттопыренные уши портили портрет, который сложился в моей голове. - Этого не бери! - издали гаркнул сторож. - Почему? - рассердился я, укрепляясь в своём намерении вызволить парня. - Кусается, - сказал сторож. - Ничего, - возразил я ледяным тоном. В стороже я увидел врага. - А!-А!-А! - Это я кричу. Парень ящерицей соскользнул с лавки и, достигнув меня, укусил в икру. - А!-А!-А! - кричу я. Слезы летят из глаз. Я повалился в объятия сторожа, который, приняв меня в объятия, обезвредил парня, нанеся ему сокрушительный удар валенком в поддых. Сумасшедшие собрались вокруг нас и с великим сочувствием смотрели на меня; они явно переигрывали, потому что были сумасшедшими и не ведали никакой меры. - По местам! - скомандовал сторож, и они рассеялись. Парень лежал на полу и, держась за живот обеими руками, пел про березу. - Я же сказал, что кусается, - ворчал сторож, уводя меня с места происшествия. - Тяжелая у тебя работа, - сказал я, сильно хромя на укушенную ногу, и мне подумалось: - "Я наказан, и буду жить с идиотом, а он-то живет с целой сотней... за какие грехи? за какую зарплату?" - Они меня боятся, - улыбнулся сторож важной улыбкой младшего чина. Вова прохаживался по зале, заломив руки за спину и нахохлившись: пять шагов вперед - резкий поворот на пятке, пять шагов назад -и опять поворот. Был он в стоптанных шлепанцах, и поэтому шаркал ногами, но при галстук и часах, и аккуратная бородка, вкупе с маленькими усиками, придавала ему вид провинциального вузовского преподавателя, недавно разменявшего полтинник. Есть такие преподаватели - тайные мученики своих фантазий, готовые удавиться за идею. Это вымирающее племя, на смену ему идут невежды и неудачники; они теснят мучеников фантазий; неудачники торжествуют, ПЕПЕЛ И ПЕРХОТЬ - их девиз, - и вот Вова загнан в подвал, под крыло младшего чина. Я с любопытством взирал на него. Он не отвечал взаимностью. Он был поглощен спором с воображаемым оппонентом, который раздражал его архивздорным набором пошлости, архипошлым ассортиментом вздора, и выпуклый лоб полемиста озаряла полыхающая мечта. - Как ты мог его выбрать? Ты с ума сошел! - ужасалась моя новенькая жена. - У него череп дегенерата. - Его череп сплюснен силой фантазии, - возражал я. - Вполне сократовский череп у человека. - Он что, башкирец? - спросила жена с чисто женской брезгливостью. Во всяком случае, он не русский, - заявила она с отвращением. - Вот он услышит и обидится, - сказал я, глядя в сторону кухни; за стеклянной дверью Вова уписывал бутерброд с ветчиной. - Я его ненавижу, - сказала жена. - Поменяй его на кого-нибудь другого... Я тебя заклинаю: поменяй. Она словно предчувствовала, что Вова в конечном счете отстрижет ей секатором голову. Я только руками развел. - Открой рот! - приказал сторож. Вова остановился и с готовностью открыл рот. - Покладистый, - одобрительно кивнул сторож. - Покладистый и смысленый. - Как ты определил? - спросил я и тоже заглянул мечтателю в рот. - Как определил? Очень просто определил. Видишь: он рот открыл. - Как ваше имя-отчество? - вежливо спросил я мечтателя. - Эх! - вздохнул мечтатель, словно жалуясь на тяготы жизни в мутнокрасном свете. Он был очаровательно плешив. - Ну, забыл человек, - заступился за него сторож. - Забыл, потом вспомнит. С кем не бывает? Забыл человек... - Эх! - снова вздохнул мечтатель. - Он, кажется, немногословен, - заметил я сторожу. - Разговорится, - пообещал тот. - Я его знаю. Он иногда такие речи толкает. О высоких материях. Диву даешься... Ну, шельма сторож! Он знал, на что меня купить! Ну, шельма... Я направился к выходу,

широко, как матрос, расставляя ноги, чтобы не упасть от головокружения. Мы выбрались на свет божий. Тут выяснилась любопытнейшая подробность: остатки волос, усы и борода у мечтателя оказались рыжими. Рыжий! Какое счастье! Мы стояли на пороге новой жизни. Я расписался в замусоленной школьной тетрадке и щедро расплатился со сторожем. - Чем его кормить? - озабоченно спросил я, словно я - мальчик, приобретший рыбку в зоомагазине. - Говном!-хохотнул сторож. Мы расстались друзьями. Знал ли я... но молчу! молчу! Я любил вас, люди. Был такой эпизод. Вова, радость моя, где ты? Все расхищено, Вова, все продано. Так Вова стал моим. Теперь, любезный мой читатель, я расскажу о том, как я стал его. Это случилось не сразу, не вдруг, а после длительной цветочной осады. Поначалу Вова был очень тихий: только шаркал тапочками и отъедался. Любил он выпить за завтраком бутылку кефира, творожка скушать, сидит скромно на нашей кухоньке и питается, потом пошаркает тапочками по комнате: пять шагов вперед, пять назад - и снова на кухоньку: то колбаску поклюет, то ветчиной полакомится. Когда ел, взгляд у него становился недобрый, кошачий, носам без разрешения ничего не брал, в холодильник не лазил. Сторож надул меня. Вова не разговаривал. Был он великий молчальник и, кроме "эх", никаких слов не употреблял. Я не раз пытался с ним заговаривать, принимался расспрашивать, кто он и откуда родом, где и что преподавал - я сжился с мыслью, что он профессор, - я даже карту СССР перед ним расстилал, чтобы он показал мне свои родные места, но Вова бессмысленно водил пальцем по карте, тихо вздыхая и тихо мыча. Отчаявшись, я больше его не беспокоил, и он совершенно замкнулся в себе. Но что-то в нем, видать, зрело, какие-то мысли, мечты доносили его: он стонал по ночам, часто просыпался и, бывало, часами сидел в темноте на тахте, сузив и без того узкие щели глаз, подперев кулаком бороденку. - Ты чего не спишь? - высовывался я из второй смежной комнаты. - Эх! - мечтательно отвечал мне Вова. - Эх! Я мечтал проникнуть в его мечты. По вечерам, дабы уберечь Вову от бессонницы, мы гуляли с ним по заснеженным переулкам. Вова зорко посматривал на прохожих. Те почему-то пугались его, сторонились, а после оглядывались. Озадаченные, я бы даже сказал, охваченные паникой лица. В чем дело? Чем смущал Вова равнодушного вечернего горожанина? Я терялся в догадках. Шли недели. Все было по-прежнему: настороженная новенькая жена, тихий Вова да я - славный, в сущности, парень... Раз, воротившись домой, я застал такую сцену: Вова сидит на кухонном полу в большой луже молока и в окружении выброшенных из холодильника продуктов; сидит и жрет все попеременно: то сыра кусок откусит, то в банку с винегретом засунет руку, то вафлей захрустит, то к колбасе потянется, а на батон колбасы, гляжу, он брусничное варенье намазал. Сидит веселый, довольный жизнью. Я его отчитал - он нахмурился, лег на тахту и безо всяких признаков раскаянья быстро заснул. Моя жена разнервничалась. - Я так и знала, - говорила она сквозь слезы с каким-то мрачным злорадством. -Я так и знала! Я позвонил друзьям. Они огорчились. Они были возмущены. Они целовали меня по телефону и говорили; "Держись!" Они звали отведать пиццу "Я птицу променял на пиццу", - гудел дружеский голос. Я страшно смеялся. Через несколько дней Вова порвал книги. Он порвал добрую половину моей с любовью собранной библиотеки; клочки дорогих мне страниц засорили ванну и унитаз. Да что унитаз! Вся квартира была засыпана этим кошунственным конфетти. - Зачем ты это сделал? - заорал я в отчаянии. -Эх! - горестно сказал Вова. Но я видел, что он счастлив, по глазам видел, по его наглým рыжим глазам. -Идиот... - застонал я. Он понимающе закивал своим дегенеративным черепом. - Если ты понимаешь, что ты идиот, - сказал я злобно, - то значит, ты не идиот, а отъявленный мерзавец. - Давай его свяжем, - предложила жена, которая была безутешна: Вова порвал всего Пруста. - Давай свяжем мерзавца! Вова испуганно заревел. - Давай его лучше убьем, - хладнокровным голосом предложил я. Вова заревел еще более испуганно. Жену тоже испугало мое предложение. Все трое были испуганы и не знали, как быть. Я объявил военное положение. Я установил строжайший надзор за Вовой. Он несколько присмирел, но не сдался; вредительствовал исподтишка. Началось таинственное исчезновение вещей: исчезали рубашки, туфли, зубные щетки,

кухонная утварь. Вдруг, в один прекрасный день, он навалил большую кучу в центре комнаты, и с тех пор пошло-поехало: он размазывал кал по обоям, рвал их, мочился в холодильник, резал ножом паркет, мебель. Он пердел и бесчинствовал. Он заголился, расхаживал голый, пять шагов вперед, пять назад, сверкая рыжим пахом, и что-то совершенно немыслимое возникло: исполинский бордово-венозный червь шевелился на осеннем газоне... Он оказался сильным, этот Вова, и плевать он хотел на объявленное ему военное положение. Это он нам объявил военное положение: мне - совсем мирному человеку, убежденному пацифисту, последний раз дравшемуся в классе седьмом, если не в пятом, и моей новенькой жене, любительнице Пруста и невинных семейных усад, на фоне которых бордово-венозное видение выросло до размеров содомского кризиса. Вова раздавил телефон. Связь с миром прекратилась. Мы забаррикадировались во второй смежной комнате и затаились, несогласия не было. Мы враждовали с женой. Вместо того чтобы сплотить, несчастье нас разобщило. Жена становилась все менее и менее сносной. Я тоже очень осунулся. Я терялся в догадках. Почему Вова так обнаглел? Почему он взорвался, как мина замедленного действия? Или там, в подвале, из идиотов готовят мучителей? Или это мое несчастье, мое невезение - такой уникам?! Неужели чистая случайность?.. - Как ты мог его выбрать? - твердила жена. За стеной бесчинствовал Вова. Но почему же прохожие знали больше меня, почему они вздрагивали при встрече с Вовой, словно его рожка была им знакома, словно с ней были связаны дурные воспоминания? Я ничего не понимал. Раздался грохот. Звон стекла. Погибла люстра. - Господи, а я-то за что страдаю? - взмолилась жена. - Значит, ты тоже считаешь, что я виноват?! - крикнул я. - Ты мне жизнь испортил, - ошетилилась она. - Я не хочу! Не хочу! Нет! Ты- изверг! - Я изверг? Ах ты стерва! Да как язык у тебя повернулся! Но иногда она говорила: - Ну, сделай что-нибудь! Ну, прошу... И я наконец сделал. Ночью Вова барабанил в дверь нашей комнаты и выл, выл, выл. Из-под двери несло калом и спермой (в последнее время Вова яростно, как отрок, мастурбировал...). Он захрипел Я спрыгнул с кровати и рванул дверь. Он стоял передо мной, размазывая руками семенную жидкость по рыжей груди. - Я тебя убью, сволочь! - крикнул я в небритое лицо, искаженное похабной судорогой. Огромная липкая лапа опустилась мне на плечо. Вова отбросил меня в сторону, как комнатного пуделька, и я, ударившись головой о косяк, сник. Он ловко схватил меня за ноги и вытащил вон из спальни. Я хотел было...щелкнул замок. Я лупил кулаками в дверь. В ответ на крики жены я лупил кулаками. Имя забыл. Как я мог забыть имя? Провалы... Я сбегал на кухню за хлебным ножом, я втыкал его в дверь - и слышал истошные вопли, они нарастали - вопили оба и жена и Вова, вопили истошно, словно я вгонял нож не в дверь, а в их мясо так вместе они вопили, и вдруг разом все смолкло, все замерло - стояла глубокая безлюдная ночь - я отшвырнул ножи направился в ванную умыться холодной водой. Утром на кухню вышла жена. Длинный оранжевый махровый халат с капюшоном. Я взглянул в ее бледное растерянное лицо. - Это чудовищно, - сказала она, опускаясь на табуретку, и потянулась за сигареткой. У бедняжки тряслись руки. Я кивнул и, не выдержав, рассмеялся. Вова стал гораздо более чисто плотным и почти не срал на пол. Он перестал ходить голым, не находя в том нужды, и по утрам, посвистывая, брил скуластые щеки Жена купила ему розовую рубаху и подарила свой бежевый фуляр. На прогулку с женой Вова выходил в фетровой шляпе. Жизнь входила в нормальную колею. Я спал на тахте, заложив уши ватой. Утром я просыпался от запаха кофе. Жена готовила завтрак. Халат с капюшоном. Втроем пили кофе Однажды Вова преподнес мне букетик фиалок. Весна наступала. Блестели на солнце мостовые. Тени были черные, а не синие, как в январе. Букетик рыночных фиалок. - Это мило с твоей стороны, - сказал я, польщенный вниманием. - Эх! - обрадованно выкрикнул Вова. На весну я ему приобрел демисезонное венгерское пальто - пусть щеголяет! А у книжного барышника накупил Пруста. Благодарная жена углублялась порою в чтение. Потом Вова подарил мне тюльпаны. - Правда, он трогательный? - спросила жена. Потом какие-то странные цветы, похожие на птичььи головы. Потом снова тюльпаны, тюльпаны. Лиловые, красные, желтые. - Почему

он тебе дарит цветы? - Ревнуешь? - улыбнулся я. Вова помог мне повесить новую люстру. Он был расторопным помощником. - Скажи, Вова, - спросил я его, - ты все-таки был или не был профессором? - Не обижай его, - сказала жена. - Не травмируй Вову. Вова подошел к жене и съездил ей по уху. Я был доволен. Так стало складываться наше мужское сообщничество. Но по ночам они принадлежали друг другу, и я затыкал уши ватой. - Опять тюльпаны! - удивлялась жена. - Он - милый, - сказал я. - Смотри, как бы он тебя ненароком не трахнул, - обиженно шутила жена. - Смотри, как бы он тебя не перестал трахать, - в ответ шутил я. За окнами был май. Вова говорил со мной на языке цветов. - Я беременна, - сказала жена. Она стояла в оранжевом махровом халате с капюшоном, и я подумал: есть такие цветочки, как их там, бархотки?.. И опять сигаретка дрожала в пальцах. Вова спал, разметавшись на ложе в счастливой истоме. - Это странно, что я забеременела, - говорила жена доверительно. - Дело в том, что у Вовы свои наклонности. Я их уважала и, не скрою, полностью им соответствовала, но беременность была ведь исключена!.. - Жизнь с идиотом полна неожиданностей, - добродушно заметил я. - Он не идиот! - вспыхнула жена. - Идиот - это ты, ты! ты! Идиот, со своей иронией, со своими друзьями, со своей черствостью и высокомерием... Он чище! невиннее! духовнее тебя! С ним я чувствую себя женщиной, с ним я буду чувствовать себя матерью. Я хочу от него ребенка! Я люблю его. Я сохраню маленького. И не смей принимать от него цветы! Не смей! Она разрыдалась. - Бред, - сказал я. - Бессвязный, истеричный бред. Бред беспомощной, растерявшейся дуры. Ты послушай себя!.. Ну, роди! Ну, рожай, что я, против?! закричал я. - Рожай ему ребенка, на здоровье рожай!.. Вечером я видел, как Вова нежно гладит ей пузо. Они ворковали и строили планы. Потом они долго, всю ночь напролет, трахались. - Эх! - разудало кричал Вова. - Эх! - разудало вторила ему жена. Я был заинтригован. Каким наклонностям Вовы соответствует моя жена? Как славно, однако, она научилась выкрикивать "эх!", - подумал я в рассуждении о наклонностях, но я был недогадлив и целомудрен, как всякий интеллигент, и я задремал, не ответив на свой вопрос. Потом жена сделала аборт и вернулась домой, потрясенная бесстыдством и грязью женщин, вместе с ней подвергавшихся этой быстро входящей в литературный обиход операции - "то есть ты не представляешь себе!", - на что я ответил: "Мне это неинтересно", а Вова не сразу понял, что она сделала аборт, и все гладил и гладил ее по пузу, по пустому, выскобленному пузу, похожему на новобранца, и это было очень смешно, я просто покатывался. А потом он понял, что случилось с его младенчиком, почему тот не подает признаков жизни, наконец до дурака доперло, что пузо пустое, и он, сильно озлобившись, поколотил ее ночью. Я проснулся, несмотря на вату в ушах. Я лежал и слушал, как он ее бьет. Он бил ее крепко, обстоятельно, кулаками; она только повизгивала, как преданная сука, понимающая, что бьют за дело. Мне было жалко ее. Наутро Вова принес мне охалку гвоздик. Я сидел в ванне с намыленной головой и размышлял о смысле жизни. Я не хотел умирать. Он бросил гвоздики в воду. Громоздкие перезрелые цветы, насаженные на перепончатые стебельки, закружились вокруг меня. Я сконфузился и закрылся рукой. Вова погладил меня, как отец, по намыленной голове и, наклонившись, поцеловал в плечо. Бородка кололась. Было щекотно и - неожиданно. Меня охватило конфузливое беспокойство, и я сказал: - Ну, иди. Он не шелохнулся. Гвоздики кружились, они давили мне на сердце. Смыв шампунь, я стал вылавливать их из воды. - Эх, - странно вымолвил Вова и вдруг, сквозь цветы, я увидел бордововенозные увесистые очертания. Они были отвратительны, эти очертания, они были так отвратительны, грубы и материальны, что выглядели заманчиво, в них была заманчивость дикой разбойничьей силы, в них было то, что мы тщетно ищем в жертвенной женской ущербности - чувство достоинства. Их хотелось приручить. Отвращение нуждалось в какой-то переплавке. Насколько материальным, плотным было отвращение, настолько непрочной, зыбкой и призрачной была красота, но она разрасталась - так на свалке мусора занимается огонь, и его нежные язычки лижут гнилую вонючую ветошь, питаются падалью, дрожат на ветру; оно красиво, это пламя, оно крепнет, оно сильнее мерзости, оно не принадлежит ей, и

пламя пожирает помойку, оранжевый факел в вечернем небе, бежит детвора - то-то праздник. Пожар! Пожар! Тили-бом! Тили-бом! Блаженная сказка детства, где красавицы - нечто иное, как глупые тетки с титьками и с красными банными рожами - утеранный, забытый взгляд, - но где мужчины вызывают зависть. - Ну, иди. А он все медлил и не шел, он не спешил идти, он всё не шел, и не шел, и медлил. Мой Вова! Мое наказание! О, жерло собственного крупа! О, эта БОЛЬ, затмение Европы... Ну, а теперь, читатель х.ев, кем бы ты ни был: другом или гадом, эстетом, снобом, черню или красню, какая б жизнь тебе ни предстояла, какая б смерть тебя ни стерегла, запомни: твоим суждением я не дорожу; я счастьем обожрался, как обжора, нажравшийся блинами с икрой, и суд твой - нищий суд, а я - богатый парень, я - миллионщик с золотых приисков Лены, и моя шуба очень горяча. Мы жили с Вовой в согласии, нежности и неге, даря друг другу скромные подарки: конфеты, разноцветные шары, цветы и апельсины, и лобзанья, - как сын живет с отцом, когда они - поэты божьей милостью и волей, и в мире не было людей счастливей нас. Мы поселились во второй смежной комнате, предоставив жене простор столовой, тахту и Пруста, братское внимание и братскую незамутненную любовь. Разве мы не стояли перед ней на коленях, выпрашивая слезинку снисхождения к нашему счастью? Разве мы не окружали ее сыновним уважением? Разве мы не были готовы разбить себе лбы, только бы ей угодить? Но она сказала: Нет! Нет! Нет и нет! Она сказала: вы пара подонков, вы дегенераты, вы - мразь и сволочь, вы - растлители друг друга и закона. Она нас обижала, но мы не сказали ей ни единого худого слова, мы просто вышли гуськом; он - первый, я - второй, уединились в спальне и, лежа на кровати, удручались. - А ты, Вова, особенная сволочь, - крикнула она из-за двери. - Эх, - удрученно развел руками Вова. - Эх, - эхнул я. Шли дни. Она все портила и рвала: порвала шторы, Пруста, мои старые письма к ней - мы пожали плечами; она насрала на ковер, как инвалид, - мы сделали вид, что не замечаем. Мы были выше этого, нам было не до воню. Но и у богов кончается терпение. Тогда мы ее избили, не очень больно, раздели для забавы и избили, хохоча над ее дурацкими титьками, которые резво подпрыгивали, пока мы ее били, но, однако, она все-таки потеряла сознание - и титьки стали совсем уж дурацкими, и мы даже всплакнули над их бесповоротной глупостью. Она стала морить нас голодом. Не допускала до пищи. Мы исхудали от взаимной любви и от голода. Голод нас возбуждал. Мы были гигантыкариатиды, подпирающие взволнованный сфинктер. Мы были худые веселые мужчины с развороченными задами. Но и у богов кончается терпение. - Тебя особенно ненавижу, - говорила жена Вове, тараща глаза. Мы снова избили ее. Сука! Подранок! Синюшняя морда!.. Никакого эффекта. Но было сладко. Мы переглянулись. Мы обнялись, и было сладко. Мы тыкались друг другу в животы. - Или он - или я, - вдруг заявляет жена Вове. - Это фашистская постановка вопроса, - угрюмо заметил я. - Зачем он тебе нужен? - спросила жена Вову. - Ну, поигрался, будет!.. Все равно он тебе ничего не родит. Какой от него толк? А я тебе рожу сына. - Ты уже один раз родила, - сказал я. - У тебя будет сын, Вова, - убежденно сказала жена. - Ты будешь гордиться им. - Я - твой сын, Вова, - робко сказал я. Жена рассмеялась презрительным смехом. На какую-то секунду я потерял веру в себя, в нашу с Вовой любовь... Это была секунда непростительной слабости. Вова увидел все это и загрустил. Жена развивала успех. От нее пахло женщиной. Вова задумчиво теревил рыжую бородку: пять шагов вперед, пять - назад. Или - или. Он думал недолго. Он вбежал в комнату. Щелкнул секатор. Я сидел в кресле со стаканом томатного сока. Я жадно пил. Она смело пошла на Вову. Ее тело мне вдруг показалось желанным, и я обрадованно крикнул: - Подожди! Я хочу ее! Вова улыбнулся на мой крик. Он не был ревнивцем и ценил в людях страсть. Но он сделал страшный знак: ПОТОМ. Меня объял ужас. Нет! Но жена смело шла на секатор. Вова шел на жену, рыжий, умный, родной, словно танк. - Я люблю тебя, - сказала жена Вове в совершеннейшем экстазе.-Люблю! Я люблю тебя, Вова. Вова схватил ее за волосы - у нее были светлые волосы до лопаток намотал их на руку, и завалил жену на загаженный ковер. Он надавил ей коленом на грудь. Мы все были наги, как дети. - Люблю...- хрипела жена, любясь Вовой. Вова быстро стал

отстригать ей секатором голову. - Эх! - наконец крикнул Вова и поднял за волосы трофей. Я сидел, облитый кровью, томатом и малофьей. Сильнейшая половая импрессия. Я знаю, кто я. Я - Ренуар. И вот, любезный мой читатель, во второй раз я стал вдовцом. Стучат колеса. Я иду по узким коридорам вагонов, вожусь с разболтанными ручками вагонных пудовых дверей, подо мной серебристые ленты рельсов, в ноздрях запах железной дороги, я иду в вагон-ресторан съесть дорожный бифштекс и запить его пивом. Скоро полуденный Харьков; я свободен, печален; я похоронил жену, умершую от детской болезни. Вова взял тело за ноги и попытался его разорвать. Он был сильным, мой Вова, но разорвать ему не удалось. Тогда он насадил тело на себя. Он замычал. Я закрыл глаза. Я очень-очень устал. А ПОТОМ я прошу: - Убери ее. Он устало - он тоже устал! - схватил ее за ступню и поволок на лестничную клетку к мусоропроводу. Он волочет ее к мусоропроводу, как большую импортную куклу. Я вижу его размашистую веснушчатую спину. Вова!.. Я больше никогда его не видел. Провалы! Провалы!.. Я прошел сквозь мутно-красный свет. Сторож принял меня как родного. Я кусался и пел глумливым фальцетом:

Во поле береза стояла, Во поле кудрявая стояла...

Я кусался, как гадюка. Я потерял много зубов. Да, я был тот высокий парень с оттопыренными ушами и вполне человеческим лицом. Меня выбрал Крег Бенсон, фальшивый иностранец. Вместо дипломатического иммунитета он предложил мне плеть и порядок. Спасибо ему! Я начинаю вновь владеть пером. Я пишу про тебя, Вова. Мой Вова! Мое наказание! Отдайте мне мое наказание! А если он умер - нет, ты никогда не умрешь, Вова, - если он умер, скажите, где его могила. Я принесу ему охапку весенних тюльпанов. Мы - памятник, Вова, разрушенный враждебными вихрями. Я слышу лебединую песню моей революции.

## **Виктор Ерофеев** **Карманный апокалипсис**

Я люблю работать ночами, как Сталин. На последнем издыхании молодости сижу и пишу. Меня мутит. Меня знобит. Завернувшись в плед, нахохлившись, преодолевая головокружение, ворочаю пером.

У моих сверстниц уже обмякают груди.

Под утро я позволяю себе не чистить зубы. В ванной голова кружится особенно нестерпимо. Пестрые полотенца разлетаются во все стороны. Зубная паста вызывает рвотный инстинкт. Но страшнее всего для меня мосты и туннели.

Я боюсь упасть в обморок, потерять сознание, но это только полдела, неловкость перед прохожими. Разгребая этот вздор, я вижу другое: гроб в церкви на Новокузнецкой, в нем непохожий на себя, распухший, словно помещенный за толстое стекло аквариума, знакомый мертвец. Жертва уличной духоты и обоюдодопорочных страстей.

Я не готов к такой транспортировке. Это автопсихоаналитическое заключение не приносит мне утешения, но порождает вялую нежность к процессу жизни. Мнительность, шепчу я, не что иное, как патологическая форма бдительности. И снова: ни улыбки, ни облегчения. Слова потеряли свою силу.

Таков род моей жалобы.

На последнем издыхании молодости я сознаю, что Россия находится вовсе не в худшем своем виде и состоянии, лелею мечты, возлагаю надежды на отдаленное будущее, на непочатые силы, на прочее.

Мой Бирюков придерживается того же образа мысли. Однако он был куда более радикален, чем я, до случившихся здесь событий, то есть куда больше Чаадаев, нежели его автор. Меня смущает столь резкая постановка вопроса об империализме. Я боюсь, что даже будучи в польском городе Данциг, в этом продувном коридоре, я бы не сносил за нее головы. Что же говорить обо мне, здешнем? Я думаю о Пушкине и о том, что написал бы

он, не будь император у него главным цензором, и прихожу к выводу, что ничего бы хорошего не написал.

За вычетом нескольких стихотворений, весьма подлых по своей сути, он уместился в сосуде, который выдуло для него его время.

Но теперь все другое.

Входят девушки. Они не бритоголовы, но коротко пострижены. Они улыбаются, глядя на мертвого Бирюкова.

Финал: сообщения в газетах о самоубийстве.

Фотография плачущей жены Марты. Назовем ее лучше Кристиной. Плачущая Кристина.

Интервью честного журналиста.

Честный журналист говорит, что он не верит в самоубийство, он прозрачно намекает, однако не отрицает подлинности почерка.

Его похитили!

Но кто?

Он предсказал распад.

За это его убили.

Несвежий Иосиф рассказывает, как они сидели на веранде.

Кристина выйдет замуж за честного журналиста.

– Дайте мне осмотреться!

– Можно подумать, что ты там не следил за событиями!

– Честное слово, нет...

Конечно, они не верят. А он не врет. И так будет всегда.

– Как вы себя чувствуете? Простите за некоторое насилие.

У каждого есть своя Москва, Москвы роятся, как весны и звезды, и вдруг он входит в нормальную жизнь, и все прекрасно, и он не находит себе места, потому как уж больно бессмысленно потеряны годы, десятилетия, рухнуло все: ему на голову. Он попадает в свою Москву, и слезы! горючие слезы! – он никогда не думал, что так можно плакать, но, идя по этому городу, разглядывая названия улиц, встречает уехавшего друга, и друг предупреждает его об опасности – и он сам знает, что есть какая-то невидимая грань, и перешагивает ее: если перешагнешь – погиб, – и он перешагивает эту грань и знает, что обречен, и начинается слезка; он вскакивает в такси и видит: слезка, и вдруг возникают морды из прежней жизни, и не понятно, то ли поблекла новая столица, то ли он уже снова в старой:

– Я сначала еду в Петербург.

– То есть назад?

– Скорее в сторону... Далее морем. Так выйдет дешевле. Они тебя убьют.

– Да за что!?

Нет, быть не может, ведь я сам всегда выступал за терпимость. Но все ж таки они все потеряли... Они потеряли-то что? Они приобрели – все!

– Смотри, – сказал Иосиф. – Ты был у истоков. Бирюков только рукой махнул и спросил шофера:

– Неужели было лучше?

– Был бардак, а теперь инфляция, – хмуро сказал шофер.

Тут он вспомнил, что денег-то нет, только старый червонец.

Запад опять просчитался. Нас не накормишь пепси-колой. Мы выше этого. Поскребите русского, и вы увидите татарина. Не поскребли.

– Ваша личная ответственность велика. Вы глумились над Россией. Наши ребята не любят вас. Они готовы прихлопнуть вас, как муху. С трудом сдерживаю их порывы.

Нужно искупление.

– Где же вы были, сударь, все это время?

– Болел, – сказал я. – Однажды... короче, у меня были неприятности.

– У всех тогда были неприятности, – сказал таксист, – но зато...

Он неодобрительно покосился на шляпу, в которой сидел Бирюков, как дурак.  
– Горловые спазмы... – объяснял Бирюков. – Дышать стало невозможно... По утрам тошнота, нервный озноб... Головокружения...

Он шел к распахнутым воротам лечебницы. Гравий хрустел под ногами. Стояла осень. Женщины в голубых халатах скользили по парку.  
Жена шла рядом и что-то радостно говорила, и все говорила, переживая конец своего пенелопства, очень бурно, возбужденно и радостно. Он вспомнил ее былую нервозность и блеск в глазах и затосковал.

– У меня другие намерения. Я никогда не занимался политикой.  
– Ну-ну... Все зависит от того, что прикажете понимать, одним словом...  
– Милый вы мой, наружу рвется здоровое национальное религиозное чувство. Достоевский. Вы кажется, ничего против Достоевского?  
Россия. Ой! Чем больше думаешь о ней, тем меньше чувствуешь жизнь.  
– Все есть! Все! Но какие цены! Вы заправлялись? Знаете, почему литр бензина?  
– Ваша жена, Александр Николаевич, спит с журналистом, с тем самым евреем, который написал про вас книгу. Вы читали? Забавное и вредное жидовское сочинение.  
Александр Николаевич поморщился.  
– Ах, простите, вас коробит мой примитивный анти – так сказать, семитизм! Вас всегда поддерживали евреи.  
– Не всегда, – уточнил Бирюков.  
– Погоди. А что Прибалтика?  
Иосиф присвистнул:  
– Фю-фю!  
– А Украина? – обеспокоился он.  
– И Украина фю-фю...

Он выходил из лечебницы. Стояла осень. Жена предлагает ему надеть шляпу. Он удивлен.  
– Видишь ли, сейчас в моде британская элегантность, никаких этих вагабондских штучек  
– надень шляпу, Саша! – Да я отродясь не носил шляп!  
Садятся в машину. – Откуда это у тебя такая машина? – Я написала о тебе книгу. – Обо мне? Ты?  
Он усомнился в ее способностях. При нем она всегда чувствовала себя ничтожеством.  
– Ну, с помощью одного журналиста.  
– Какого еще журналиста?  
– Он очень симпатичный человек.  
– Да?  
– А что?  
– Ничего.  
– Я всегда знала, что тебе все равно... Этот вечер мы проведем с тобой вдвоем. – А сын? Где сын? – Он в лагере. – В каком еще лагере? – Здесь под Москвой.  
Очень симпатичный такой спортивный лагерь. Он прекрасно играет в футбол.  
– В футбол?  
– Это модно.  
– В футбол?!

По дороге они заезжают во французский магазин купить бутылку белого вина.  
– А на ужин твоё любимое...  
– Пельмени? – спросил Бирюков.  
– Нет, – обиделась жена. – Лангусты.  
– О, лангусты! – изобразил из себя Бирюков. Она входит в магазин – он видит ее через витрину – он видит ряды полок с винами – он видит, как она там порхает, и вылезает из машины, на цыпочках крадется прочь.

Подглядывать куда интереснее, чем смотреть. Подглядывание это и есть сущность писательства истинного, смотрение – писательства дозволенного. Впрочем, это совершенно не так.

Она его ждет, пишет о нем книгу, готовится к встрече, посмотрите, как она прекрасно одета, у нее столько достоинств, только уже не первой молодости женщина, и ноги толстоваты, а он только и знает, что морщится. Мерзавец. Она ему всю жизнь отдала, чтобы он мог спокойно работать, она ему жизнь – она декабристка – а он? он что? он мерзавец.

В газетном киоске Бирюков рассмотрел сомнительный журнальчик с русскими буквами. Один мой знакомый поляк назвал русские буквы стульчиками. На этих стульчиках сидят апостолы русской литературы. Некоторые стульчики оказались электрическими.

Он идет дальше, на площадь, где вместо редкого для города лошадиного памятника стоит что-то такое конструктивистское, смутно знакомое по старым фотографиям. И там на углу есть книжный магазин.

Магазин пуст. На полках стоят книги. Он начинает плакать. Он смотрит на книги и начинает плакать горячими слезами.

– Видите ли, – сказал Бирюков, – я никогда не был западником в том смысле, что желал превратить колхозника в голландского мельника. Я думал об европеизации страны только на уровне вещей, а не понятий.

Как быстро привыкаешь к нормальному! Как быстро перестаешь удивляться! Еще минуты две назад сомнительный журнальчик у Палашевского переулка, стопка книг... Теперь он даже не оглянулся. Нет, не совсем так. Он стремительно привыкал, но еще какое-то время существовала новизна и ощущение восторга, и удивление: за что так сильно мучались? Город вышел на улицы. Словно раньше он залегал по квартирам, баррикадировался, а теперь лопнул и распустился, перешел в разряд южных городов и запел веселые, с подвыванием, песенки.

Россия смертельно всем надоела своими проблемами. Вдруг случился такой момент, когда она растворилась в воздухе. И вдруг стало ее жалко.

Нет, не совсем так.

В конце концов, мы страдали больше всех, а стало быть, мы правы. Больше того, за нами истина. К тому же страдание приносит просветление. Однако страдание нужно одним только художникам, а страдание как фундамент общественной жизни делает нашу жизнь живописной.

Итак, Москва становится вполне цивилизованной столицей. Но народ недоволен. Здесь-то и выясняется, что никакой он не европейский. Только вот какой же? Не может быть, что никакой. Впрочем, почему же не может?

И вот с некоторых пор меня манит к себе католицизм. Я сопротивляюсь его чарам, Кристина, но в душе уже сделал ряд уступок. Начал с мелочей. Этот костел на задворках казенного дома столь же похож на Нотр-Дам, сколь не знаю – любое сравнение, не хочется сравнивать – я думал, отчего это Чаадаев так сух? Пишет Пушкину такие дружеские письма, а пламя его сухое. Потом оказалось, что Чаадаев с рождения страдал атрофией полового чувства. Как оживился бы Фрейд при взгляде на этого сероглазого пациента с глумливо поджатými губами! В письме Пушкина к нему куда меньше ума. Пушкин порой даже скор на примитивные объяснения. Духовенство, дескать, дурно, поскольку ему положено носить бороды, и не пускают в хорошее общество. Звучит почти глупо. Но в том-то и сила Пушкина: он мог позволить себе быть неумным и пьянствовать с нянькой, которая попала в школьные учебники наравне с Павлом Корчагиным. Но на Рождество мы пришли в храм, нет, это было на Пасху – святить кулич и яйца. И меня привлекли какие-то мелочи: простоволосые женщины и девки в высоких (это был ранний апрель и лужи) сапогах и в вельветовых штанах, в сапоги заправленных, распиздяйки с густыми, вьющимися от здоровья волосами. И я подумал: а там все больше убогие, там на здоровье косо смотрят. Там много спрашивают, но, спросив, забывают, и еще меньше

соответствуют. И еще мне понравилось, что здесь сидят на лавках и читают Евангелие, как в избе-читальне. И каждая старушка сидит особливо, а не кучей, и каждая старушка была в свое время распиздяйкой с густыми кудрями, и с челкой, и с гонором, и толпы нет, нет кучи, хотя все равно смердит, но по-иному, не от них, да и раньше туристически тоже нравились те храмы, что Наполеон угрожал унести на ладони, а на эти он только таращил глаза, а другой, менее великий француз, например, отборные гадости написал о Василии Блаженном, но я все-таки не решился сделать какой-нибудь решительный шаг и повесить прямой крест, без бордюра, и присягнуть католицизму, Кристина. И вообще там, в костеле, было культурно и не напряженно, не было чувства порога, как в русской церкви. И после этого православие – это все-таки Азия, и Москва – это тоже Азия, да и мы сами. И почему я – азиат московский – должен становиться европейцем? – и мне подумалось – не то чтобы измена предкам – нет, не знаю, что именно, но больше не пошел.

Но я вижу тут возможность объятий и приветственных криков по поводу.

Но я не люблю.

Нет, католицизм мне роднее.

А потом он понимает, что не создан для общественной деятельности. Ведь тогда нужно все время думать о благе народа.

Между мною и Чаадаевым есть некоторая разница. Во-первых, я не страдаю запорами, во всяком случае до сих пор, а он страдал и высиживал свое письмо. Во-вторых, я все-таки не так экзальтированно нервозен. В-третьих, я едва ли признаю столь имманентную роль бога в судьбах истории как русской, так и нерусской. Наконец, у меня нет атрофии полового чувства. Но по части головокружений мы с ним схожи. Мания преследования налетала на меня, как волна. Я мог бы пойти по разному ведомству болезней.

Участь моя достойна зависти. Я никому не понравлюсь. Ни тем, ни этим. В этом есть что-то от Чаадаева, но Пушкин потому и не стал Чаадаевым, что он Пушкин, а не просто умный и тщеславный человек без полового чувства, пациент Фрейда, которого следует поймать в сачок и рассматривать, пока не надоеет и не опротивеет. Я же люблю, Кристина, трахаться с бабами. Причем по пьянке могу отодрать даже такую срань, с которой даже механик моей машины или парикмахер моей головы даже рядом не лягут.

Все это Бирюков берет на себя и, как клоп, наполняется кровью. Он слишком поздно понимает, что взялся не за свое дело. И его убьют.

Причем убийство произойдет, как водится, в бане. Его сварят в кипятке.

Русская жизнь была настолько специфична, что вся ушла в ту плоскость, где и жизни-то нет, не осталось, осталась фикция, и я не наслаждался этой заменой, но приходил потихоньку в ужас.

Хохлы нам выплюнут Крым в лоб, как вишневую косточку, и у нас опять будет русская цветущая сакура.

Короче говоря, Бирюкова, если кто не понял, умыкают.

Слабость человека вообще, поделенная на слабости русского человека в особенности и помноженная на бессмертие души – вот она, вот что такое наша родина, Кристина!

Розанов приставал к умирающему Страхову со множеством гнусных вопросов. Страхов большей частью отмалчивался, потому что он умирал от рака десен и потому что не очень доверял Розанову, но Розанов настаивал, и тогда Страхов отвернулся совсем уже к стене, но Розанов грубо развернул умирающего Страхова к себе и спросил, какую бы эпитафию тот хотел бы иметь. Страхов, боясь, что Розанов сделает ему больно, хотя и без того ему было нелегко, задумался и сказал:

– Я хотел быть трезвым среди пьяных.

Это замечательные слова.

Услыша их, Розанов заплакал, а Страхов умер.

– Ну, и какой выход вы видите, уважаемый Александр Николаевич?

– Никакого, – встревоженно отозвался Бирюков.

Его сварили в кипятке.

Почему его сварили? Читатель думает, что его сварили, потому что он был вреден одной из партий, а он был вреден обеим, и они сговорились его убрать, чтобы он им не мешал собачиться. Но это не так.

– Значит, границы по Курску?

– А разве они по Курску?

– А разве вы не знаете?

Между тем, Бирюков сидел в нервной клинике и не знал. Он не потому сидел в нервной клинике, что был сумасшедшим, а потому, что был нервным, и когда объявили, что Брежнев умер, он опять заболел на несколько лет. У него вся нервная система вышла наружу и выглядела как кишки или как мировое древо, где все есть. И все это вышло наружу. У него так обострились нервы, что он вспомнил всего себя с самого детского возраста, и понял, что жил рывками, думал урывками. Он вспомнил, как зачинали его его родители, в ту самую среду, утром, потому что отец вечерами работал, а утром иногда спал долго, и когда он проснулся, они зачали его, и мать была розова с утра, и он помнил ее розовый румянец, он все вспомнил и попал в нервную клинику, потому что лечиться ему нужно было, и сначала клиника была как клиника, не клиника, а дрянь, и он лежал в палате на семерых, в духоте, и у нянечек халаты были рваные и из-под халатов тянуло рыбой, и они его зачали, в ту самую среду, он все помнил, и очень разболелся.

– А что вы предлагаете? – спросил Бирюков. Я не знаю, что они со мной сделают. Чаадаев испугался. Когда все случилось, он заложил Надеждина, всех.

Пушкин написал ему письмо. Вяземский тоже повел себя неприлично.

– Собрать Россию в исторических границах, – был ответ.

Но однажды в клинике все переменялось: нянечки сняли рваные халаты и перестали пахнуть. Их всех повыгоняли. На их место пришли молоденькие девки в голубых халатах и больших дымчатых очках. Они были похожи на сов.

Бирюкову тогда было все равно. Он только хотел знать, что ждет его после смерти. Кого он ни спрашивал, никто не мог дать ему обнадеживающий ответ. Но однажды к нему в палату пришел новый директор клиники, датчанин по имени Карл Стиф – через ф, – который сказал, что он знает, что будет с Бирюковым после смерти и, подмигнув, предложил Бирюкову тугую резиновую игрушку. Бирюков отказался со злобой.

На какой основе объединить Россию? На основе невозможности жить без нее?

– Нет, – сказал Бирюков, – не хочу куклы. Дайте мне настоящее.

– Бросьте! Финляндия прекрасно обходится без нас!

– Это мы не обойдемся без них. А впрочем, обойдемся!

– Стать второстепенной или третьестепенной страной, вроде Франции...

– Да кто нам снова поверит? Мы заведем в свои объятия и обманем.

К вечеру ему дали настоящее. Это была милая девушка, и Бирюков решил, что она в него влюблена. Но она не была в него влюблена, так призналась она ему, а просто зарабатывала на учебу в университете, и ему ее вписали в счет за клинику, которая к тому времени перешла к Стифу, как все куда-то переходило; дома запестрели вывесками, все наконец надели дубленки и джинсы, и цены подскочили, как температура при воспалении легких, и народ насупился. Вообще народу все это решительным образом не нравилось. Тогда стали ходить по квартирам некрасивые молодые люди и спрашивать: А чего вы хотите? – и был проведен референдум – и ничего не поняли, чего хотят.

– Сама идея была неплоха и вполне национальна.

– Насчет национальна – это точно, – согласился Бирюков.

– Экономически неэффективна – вот беда.

– А почему?

– А кто ее знает... Неэффективна и все тут.

– А крови много пролилось? – деликатно поинтересовался Бирюков.

Помолчали. Покашляли.

– Ну, и пусть второстепенная! – сказал Бирюков. – Мы уже пожилы в первостепенной. Живут же люди – ничего!

К нему подходит человек в книжном пустом магазине, когда он плачет над книгами, и он узнал: – Ося!

Ося стар. Он бородатый и довольно несвежий на вид. Они идут в ресторан на веранду. Да, я съем что-нибудь вроде бифштекса.

– А выпить?

– А что у вас – выпить?

– Все! – осклабился официант. Бирюков внимательно посмотрел на него:

– Принесите пива.

– Два пива! – крикнул Иосиф. – Аперитив за мой счет, а обед пополам, идет?

– Я не хочу обедать, – сказал Бирюков.

– Я совершенно не знал, что тебя встречу. Я знал, что ты должен выйти, но не знал...

– Ты давно вернулся?

– Я уже назад собираюсь.

– Назад?

– А что тут делать?

– Вот как? – рассеянно удивился Бирюков. Зреет переворот. Западные демократии махнули рукой. Россия опять станет могучим государством. Молодежь бреет головы в знак траура по великой России. Нет, что-то мы, конечно, сохраним. Но только не этот расцвет жидовства. Скажите, Бирюков, вы этого хотели? Вы, мелкий растлитель великой нации!

Вы осуждены нашим судом, Бирюков. Вы присуждаетесь к смертной казни. Я расскажу вам, в чем будет она состоять. Вы погружаетесь в котел с ледяной водой. Он медленно нагревается. Вы испытываете сначала адский холод, затем начинаете согреваться, затем вы чувствуете себя роскошно, как в ванне или в бассейне, но температура плавно ползет все выше и выше.

На поверхность воды поднимаются первые пузырьки. Наконец, вы варитесь в кипятке. Вы вывариваетесь. Ваше мясо начисто отстает от костей. Вот такая вот казнь. Нравится?

Бирюкову захотелось обратно в лечебницу, под крыло старика Карла Стифа. Где-то по городу металась его жена, звонила в милицию. Бирюков мечтал отправиться в лечебницу, чтобы когда-нибудь потом снова выехать из нее, но выехать куда-нибудь не туда, не в это промежуточное измерение – в менее издевательскую плоскость бытия, а еще лучше домой, домой, в тесный кружок сохранившихся добрых друзей.

Окончание совершенно халтурно. Конечно, Бирюков испугался, сплоховал, полностью отступился. То есть он замыслил обмануть бритоголовых и со временем улизнуть в Южную Африку, где сохранялся апартеид.

– Ладно, – сказал он примирительно. – Дайте мне подумать! Но где гарантии?

Они дали гарантии и с вежливым видом ушли.

Он думает. Когда они входят, он говорит: Я согласен.

Он пишет вроде бы даже не под диктовку:

**УВИДЕННОЕ МЕНЯ ПОТЯСЛО. НЕ О ТОМ Я МЕЧТАЛ. ОТРЕКАЮСЬ ОТ СВОИХ СТАРЫХ ДОМЫСЛОВ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ МОГУЧАЯ РОССИЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДОБРОВОЛЬНЫЙ СОЮЗ НАРОДОВ!**

– Ну и прекрасно! – улыбался, широко улыбался, в совершенном восторге улыбался и добавил беззлобно: – Вот тут вот только подпишитесь, Александр Николаевич!

Александр Николаевич подписывается и утирает пот носовым платочком. Раздается выстрел. Входит много людей.

– Будем считать это самоубийством. Предсмертную записку суньте ему в карман пиджака. Отпечатки пальцев на пистолете. Сделайте все, как полагается.

Трогает Бирюкова мыском ботинка.

– Утихомирися, сволочь.

– Жаль, помучить не удалось. Следы бы остались.

Бирюков лежал на полу, такой милый, с открытым ртом.

**Пупок**  
**рассказы красного червяка**  
**Дядя Слава**

Мальчик, если у тебя есть бабушка, если она еще не умерла, сделай ей больно. Сломай ей руку, откуси завядший сосок. Так учил дядя Слава. Так. Только так. Только так и поступай. Откуси и выплюни.

ТЬФУ!

В то лето бабушки не стало. В сердцах ей крикнул: чертова бабка. Умоляя простить, упал на пол, рыдал. Не простила. С трагическими почестями был вызван отец. Бабка требовала расправы. Рядом был поселок завтрашних космонавтов. Никому не ведомый Гагарин глядел по ночам на звезды, а денежные знаки были такими большими, что взрослый человек мог легко сесть на корточки и подтереться. Край был дивный, ну прямо дивный. Высокие березы, высокие травы. Спускаться к большому пруду по колено в траве было очень приятно. Помню ожидание удара, испуганное томление лица, вот сейчас, сейчас, щеки онемели, в ушах звон — отец не ударил.

Не знаю, на чем готовили пищу на соседской даче у дяди Славы, а мы жарили на керогазе. Бабка не верила в электроплитки, потому что электричество имело особенность тухнуть. Керосинки медленно уходили в прошлое, а керогаз нет — он возвышался над жизнью и утварью, как головной убор первосвященника, и в нем был веселый глазок, как в печи, где тогда сжигали покойников. Стреляло масло, куски колбасы — пайковой, докторской — подпрыгивали и искривлялись, и становились похожи на уши. Душевым голосом бабка пропела в сад:

— Ку-у-у-шать!

В саду был я: худой и большеголовый, яйцеголовый и не разбуженный. Еще не я. Не-до-я. Я-не-я лет около тринадцати, который весь извелся от одиночества. Где-то в парке играла музыка. Было паническое чувство, что жизнь проходит и пройдет мимо. Сидел на куче песка, как на куче навоза, и обреченно, но с удовольствием играл в железную дорогу. Это была отечественная дорога, уродливая и прочная, и остов железнодорожной цистерны я выкинул в мусоропровод уже после того, как женился. Или до одури читал. От одиночества неумолимо превращался в образованного юношу. Полное отсутствие приятелей толкнуло меня к знакомству с дядей Славой.

Я его не сразу стал называть дядей Славой. Дачи были казенными, для среднего звена, заборов между нами не полагалось. Мылись на кухне, среди кастрюль и ночных бабочек, в корыте. Или на веранде. Всегда очень не хотелось перед сном мыть ноги в тазу. Из чайника бабка лила кипяток. Ну что, теплая? Три колени. И чего это ты с ним связался? Смотри, еще отцу повредишь. На пол не брызгай.

Большим пальцем дотронешься до воды. Ой, еще горячее! Она льет, мозолят глаза бретельки от лифчика, пар идет, вдруг ошпарит. А что? Я стал бояться, что она меня ночью задушит, потому что я молодой, то есть из зависти. Ты слышишь, что я говорю? Он тебе не пара. Видишь, с ним никто не здоровается. А утром проснешься: солнце, теплынь: не задушила. Босиком бежишь умываться.

Так что знакомство с самого начала получалось подсудным. Бабка рано начала пугать меня мужчинами. Заманит конфетой в лес, а потом разденет — и всё! Я пугливо представлял себе страшного мужика, который засовывает в мешок летние детские вещички, сандалики и уходит хрустя валежником, оставляя меня голого в лесу на произвол судьбы, с фантиком от конфеты. Я клялся ей, что не буду никому верить, а она меня гладила по голове шершавой рукой, и иногда мне кажется, что я сдержал эту клятву.

Помимо бабки, с которой мы жили душа в душу, я враждовал с помоечным котом, а помойка у нас с дядей Славой была общая — большая вонючая яма. Дядей Славой я стал,

я осмелился его называть уже в августе, когда наступил звездопад, и, сидя рядышком на скамейке со спинкой, выгнутой на бульварный манер, отвлекшись от основного занятия, мы в тайне друг от друга загадывали желания — вот еще одна, говорил я, а вот еще! — мне хотелось, чтоб он меня обнял, прижал к себе, — да, много их падает, вдруг согласился дядя Слава с болью в голосе. Жил он на даче почти безвыездно, мирно, и всякий отъезд его в Москву меня глубоко обижал.

К даче подкатывал черный, далеко не новый ЗИМ, открывался маленький, как несессер, багажник, вяловато крутился шофер, появлялись женские призраки домочадцев — он выходил в безукоризненном темном костюме, в темном галстуке и в темной шляпе. Четкий в каждом движении, корректный и малость растерянный, он нырнул, наклонившись, в ЗИМ, не спеша опускался на заднее сиденье, издевательски прикрытое — чтобы он не нагадил — плюшевым темно-красным чехлом. Помню запах сизого дымка из выхлопной трубы этого ЗИМа. Запах нашей разлуки. Проезжая мимо худого подростка с большим застенчивым ртом, он поднимал и опускал руку, согнутую в локте. На секунду на его лице обозначалась расплывчатая, отечная, болезненная улыбка. Я тоже вскидывал руку в прощальном приветствии и долго стоял у дорожки, и чувствовал, как Земля, вращаясь, крутит колеса его машины.

Как-то какой-то стекольщик разбил на дорожке большое стекло, и осколки лежали, поблескивая на солнце сотнями пенсне дяди Славы, и моя бабка, чей муж, то есть мой умерший дедушка и железнодорожный бухгалтер, тоже всю жизнь проносил пенсне, сказала сочувственно, что пенсне украшает мужчину. И по-вдови смахнула слезу. Когда у нее портилось настроение, она говорила, что это я убил дедушку, потому что мучил его своими капризами и заставлял носить себя на руках, отчего у него случился инфаркт и он умер страшно не вовремя, не успев получить — глаза бабушки делались мечтательными — уже обещанный орден Ленина, или что я неблагодарный, потому что как же можно не помнить дедушку, который для тебя сделал столько хорошего, и как он с тобой возился на даче в Раздорах, свистульки делал и ползал на коленках, играя в машинки, и я его вдруг однажды увидел: в просторной пижаме и в совершенно дурацкой тюбетейке, и, увы, без ордена, катающего коричнево-желтый троллейбус. — Хорошо быть милиционером, — с одышкой сказал, подмигнувши мне, дед. — Машешь себе палкой туда-сюда. — Ку-у-у-шать! — завопила бабка.

Раньше б стекольщика этими бы осколками накормили. После обеда бабка прилегла в саду на раскладушке, в своем ситцевом синеньком сарафане, накинув на ноги покрывало, а я сидел на куче песка и пускал вниз по рельсам цистерну — вдруг бабка метнулась — молоко убежало, залило керогаз и запахло, — сорвала покрывало, и я увидел, что у нее под сарафаном — ничего, кроме черных волос, и еще на долю секунды мелькнула розовая рана — я как сидел на куче, так и остался, оглушенный — с цистерной в руках.

Под беззащитными шинами ЗИМа теперь хрустели осколки. На даче дядя Слава ходил в светлой паре, без галстука и в светлой шляпе. Любил гулять кругами, далеко от дачи не отходил. И всегда при нем всегдашняя палка. Простая, с простой ручкой. Был негибачный, ладный, похожий на маленький сейф. Дачники, издали завидев дядю Славу, поворачивали назад, а те, кто с ним сталкивался, проходили, как скромники, не поднимая глаз. Жареная колбаса с макаронами. Любимый ужин. Но если переест колбасы — будет изжога. Я мучился от изжоги и одиночества. Ужин заканчивался скандалом и слабеньким чаем. Бабка мне не давала слушать транзистор. Ей казалось, что транзистор портится оттого, что его слушают. В ту пору транзистор был ошеломляющей новинкой, неведомой здешнему населению. Бабка заматывала транзистор в тряпку и прятала в шкаф. Это был внушительный ящик, ярко-красный, с белой пластмассовой ручкой, норвежского непонятно почему производства. Когда я тайком от бабки брал ящик на большой пруд, с местными случалось вроде помешательства. Они облепляли меня, любопытные и подозрительные, и на лицах было написано, что их не проведешь: радио не может играть без провода, само по себе. С транзистором на пруду я чувствовал себя юным непонятым

богом. Мне папа разрешил, говорил я. Ну и что, что разрешил? — говорила бабка. — Ты все портишь, и это испортишь. Она все в жизни пеленала: моя велосипедная фара тоже хранилась в тряпочке. Папа разрешил! Не дам! Нет, дашь! Она доводила меня до слез, а потом скрывалась и выносила транзистор с несчастным видом обиженного бульдога. И я бежал в сад: он в росе, я в слезах. После слез мир казался еще прекраснее.

На пограничной скамейке под высокой березой мы встречались с дядей Славой каждый вечер около девяти. Бабка никогда не подходила к нам и не слышала, что мы слушаем. Она только хмурилась: — Чего ему от тебя надо? — но уважала.

Я всегда приходил первым и всегда волновался, что он не придет. Дядя Слава приходил полминутой позже. На тридцать одном метре я выуживал из радиохаоса позывные. Сначала, как водится, передавали краткую сводку новостей, затем полный выпуск. Дядя Слава клал ладони на ручку палки, на ладони он клал подбородок — усы, пенсне, шляпа покоились и не мешали. Мы обращались в слух.

Голос все время норовил уйти в сторону, и его приходилось вновь и вновь вылавливать. Глушили. До шестьдесят третьего, если не ошибаюсь. Давали послушать какие-то посторонние новости, а как доходило до нас или до Берлина — включалась по чьей-то команде глушилка, и слушать становилось почти невозможно. Но все-таки чуть-чуть возможно, и дядя Слава никогда не уходил, а бабка опять и опять вскакивала с раскладушки, а по ночам стояла у меня в изголовье: задушить — не задушить? Дядя Слава никогда не уходил, когда начинали глушить, и никогда не кричал, не выражал своего раздражения или неудовольствия, он относился к глушилке как к неизбежному явлению природы. Он оставался невозмутимым, сидел и ждал, когда я найду ту промежуточную зону, где полуслышно, полуглушат. Он был молчалив, но всегда приветлив, с самого начала приветлив, и хотя сидел покойно и плотно, меня не покидало тревожное чувство, что он здесь случайный гость: вот присел на скамейку к мальчику, тот крутит радио, и случайно услышал то, что не следует, и старый конспиратор не виноват, но, так как это случайное случилось каждый вечер, из вечера в вечер, он эту мнимую случайность разыгрывал не передо мной, а перед всем миром, которого не было: скамейка была глухая и только наша, и в эти минуты мы были одни во Вселенной, он и я, молчаливые заговорщики, слушавшие неположенное, одинаково неправые, пионер и пенсионер, перешедшие на нелегальное положение, но почему-то не предающие друг друга. И это, конечно, нас сблизило, и от вечера к вечеру он становился ко мне добрее, я был уже не просто мальчик, у меня появилось имя, неуловимыми жестами он давал мне понять, что не сердится на меня за то, что не слышно, и я постепенно утрачивал чувство неловкости от соседства с ним и от того, что не всегда успешно справлялся с глушилкой. После обеда бабка прилегла в саду на раскладушке, и вдруг — молоко! С этим молочным извержением и с дядей Славой в качестве постоянного слушателя я прожил все лето, комментарии он слушал редко, тихонько поднимался и уходил после новостей, и только однажды услышали мы в новостях имя дяди Славы, когда сообщили — помню просто дословно, — что студенты Бейрутского университета бросали в полицию бутылки с коктейлем, названным в честь дяди Славы. Голос Америки был для меня не меньшим откровением, чем черные волосы под сарафаном, и я украдкой глянул на дядю Славу: как откликнется на свое имя? Откликнись! Никак не откликнулся.

Он никогда ни о чем не спрашивал, не задавал снисходительных вопросов — я тоже его никогда ни о чем не спросил. Но помнил, как несколько лет назад в Сочи отец выходил из моря — и вдруг объявили — и люди побежали к репродуктору, — что вот: разоблачены. Все они и еще к ним примкнувший. Помнил, как огорчились мои родители, особенно папа в купальных трусах огорчился. Рядом со мной — мне хотелось, чтобы мы ласкали друг друга, запускали бумажных змеев, бегали по полю и целовались, — сидел создатель неизвестного мне коктейля, а бабка затеяла большую стирку, и, как всегда в такой день, я был предоставлен самому себе, и я выкрал из шкафа то, что мне категорически запрещалось брать: отцовское духовое ружье с маленькими пулями, — и побежал на

помойку убить кота. На помойке кота не оказалось, и я долго сидел у вонючей ямы в засаде, пока не надоело. Когда надоело, я убежал с ружьем в лес и оказался метким стрелком. В тот день большой стирки я убил много ворон, трясогузок, синиц и других, неизвестных мне птичек. Мне нравилось, как они, как кулечки, тихо падали наземь. По дороге домой я подстрелил красивого дятла, он свалился мне прямо под ноги, и мне совсем не было его жалко. Потом я снова побежал на помойку и, когда до меня донесся крик: — Ку-у-у-шать! — я увидел щуплого серого кота, промышлявшего в яме. Кот хотеллизнуть, но я предательским голосом позвал его: кис-кис. Тот прищурился, подозревая подвох, как местные подозревали подвох в радио без провода. Я вложил всю нежность в следующее кис-кис. Кот заколебался. Я осторожно поднял ствол духовки и прицелился с приветливым лицом. Кот стоял в нерешительности. Я выстрелил ему в лоб. Он зашипел душераздирающим шипом и бросился в траву. Дрожа от возбуждения, я стал неловко перезаряжать ружье. — Ку-у-у-шать!

Кота я больше никогда не видел. Дядя Слава тоже вскоре уехал. Кто-то донес отцу, что я бегал с духовкой и уничтожал все живое. Вот какие бывают суки. Я признался, что взял без разрешения, и заплакал, прося пощадить. Перед сном от розовой раны сладко ныло и ныло внизу. Как это делается? — удивился дядя Слава. — Смотри. Берем кожицу... А инфекция туда не попадет? Ты что, какая инфекция! Вот так. Правильно. Ну, давай, не бойся, бутон! Он слушал со мной антисоветчину, холодно думал я. Коммунизм неизбежен. Отец в бешенстве ударил меня по лицу. Незадолго до смерти дядю Славу восстановили в партии.

1987 год

## Роман

### 1

Да! — с жаром согласилась Лидия Ивановна.

— Нам не хватает ни больше ни меньше, как эвка...

— Осторожно! — шепнула Лидия Ивановна.

Прошел Глинка.

Прошел Никитин.

Прошла Шурова-Потапова.

Прошли Удальцов и Нехлебов.

Пробежала Бондаренко. Она всегда вприпрыжку.

— ...как эвкалиптовых рощ, — заключил Богаткин, иронически глядя сквозь очки вслед Бондаренко. Прошел Кутузов.

За ним — Арутюнов, Харкевич и Жданов. Бежала назад Бондаренко.

— Богаткин, не видел Усова?

— Он болен.

— Знал, когда заболеть! — злилась, убегая, Бондаренко.

Кутузов тоже воротился и задал несущественный вопрос:

— Цыплят по осени считают! — иронически ответил Богаткин.

— Вас погубит ваша ирония, — шепнула Лидия Ивановна, когда Кутузов отошел.

— Надоели они мне все, — шепнул ей в ответ Богаткин.

### 2

Будучи человеком военным, муж Лидии Ивановны, подполковник Сайтанов, часто уезжал маневрировать и маневрировал нестерпимо долго, от менструации до менструации, так что Лидия Ивановна встречала его с отчаяньем в голосе: «Сегодня, как назло, нельзя!» — и ни о чем не спрашивала, хотя по отмороженным ушам, или авоське с кокосовыми

орехами, или по трофейной вазочке из дивного хрусталя она смутно догадывалась... но ни о чем не расспрашивала.

Раз подполковник вернулся веселый, загорелый, с простреленной щекой. В кровати при свете ночника он показал Лидии Ивановне таинственный орден, одну часть которого полагается носить на шее, а другую — на животе.

### 3

Летом Москва катастрофически глупеет. Она становится глупее Тулы и Астрахани, и даже жены Богаткина, Киры Васильевны, бабы совсем уже вздорной.

Кира Васильевна сказала своей школьной подруге, что член ее мужа похож на дирижабль. Но хорошо ли это или плохо, оскорбительно ли сравнение для Богаткина или оно оскорбительно для старомодного воздухоплавательного аппарата, которого теперь не встретишь ни в небе, ни в спущенном виде, — понять из ее слов было невозможно.

### 4

Исторической ошибкой Петра, обошедшейся России в миллионы человеческих жизней, явившейся причиной последующих неурядиц, неурожаев, мятежей и повального пьянства, нанесшей непоправимые удары по русской национальной физиономии (носы расквасились), считал Богаткин триумфальное покорение финских болот, отвратительное совокупление с фригидным Севером. Ну, что ему стоило, этому императору, пройти, зажавши нос, по помету татарской степи и, выйдя к теплому морю, заложить там — назло голландцам — субтропическую столицу, утопающую в мандариновых садах, богатстве и творческой неге! Жаркое сердце столицы согрело бы Новгород и Кострому, Читу и белорусов, мордву и Сахалин. Но когда вместо сердца февральский сквозняк... э, да что там говорить!..

— Я, наверное, вас утомил разговором, — спохватился Богаткин.

Они сидели на уединенной скамейке в Парке культуры. Поодаль с воем проносились снаряды заграничных аттракционов.

— Ну что вы, Юрий Тарасович! Я вам признаюсь, что вы — самый умный человек из всех, кого я встретила в жизни.

— Я пригласил бы вас в кино, — сконфузился Богаткин, — но в кино хамство, дурацкие комментарии, спертый воздух, заплеванной пол. Билетов нет ни на сегодня, ни на завтра. Нужен блат, связи, наборы шоколадных конфет. С кафе то же самое...

— Тише! — вскрикнула Лидия Ивановна.

Непонятно откуда взявшись, мимо них прошли Арутюнов, Харкевич и Жданов. В воздухе пахло лещом и пивом.

— Засекли, — сказала Лидия Ивановна.

— Сволочи, — сказал Богаткин.

— Я сильнее, чем вы думаете, — посмотрела ему в глаза Лидия Ивановна.

— Я думаю о вас хорошо, — заверил ее Богаткин.

— Если бы вы вместо ваших очков носили пенсне, то, извините, вы бы были похожи — знаете, на кого? — на Чехова!

— Может быть, я и есть Чехов, — загадочно улыбнулся Юрий Тарасович.

### 5

— Есть колбаса, сыр, яйца, земляничное варенье, бутылка чачи... Да! Как я могла забыть! — лицо Лидии Ивановны исказил неподдельный ужас. — Есть кусок холодной телятины!

— Я вовсе не голоден, — мягко сказал Юрий Тарасович. — Вот если бы чайку...

— Чайник сейчас закипит. А к чаю? Земляничное варенье будете? — Страшная горечь отразилась на лице Лидии Ивановны: — Правда, оно прошлогоднее...

— Я не любитель сладкого.

— Тогда рюмочку чачи. Я тоже за компанию...

— Нет, лучше чаю.

— И чаю, и чачи... Она, правда... — судорога испуга пробежала по лицу Лидии Ивановны, — с запахом.

Богаткин сидит в мягком кресле. Вокруг чистота, цветы в горшках, горит люстра. И ни следа подполковника. Кажется, в общей сложности три комнаты:

— А может быть, вы — кофейник? — вдруг встрепенулась Лидия Ивановна. — То есть, я имею в виду... люди делятся на чайников и кофейников.

— Я — чайник! — объявил Богаткин. Лидия Ивановна поставила Моцарта. Пластинка шипела.

— Должна вам сказать, — сказала Лидия Ивановна, кусая губы, — что я — глубоко несчастный человек.

Богаткин понимающе закивал головой. Прошло минут пять. Он все кивал и кивал. Перестав, сказал почти с восхищением:

— Моя жена, Кира Васильевна, — фантастическая дура!

— Не надо *так*, Юра, — сказала Лидия Ивановна. Они помолчали, прислушиваясь к Моцарту.

— И все-таки в жизни есть Моцарт, цветы и даже... — Лидия Ивановна вдруг рассмеялась несчастным смехом, — представьте себе, любовь.

При слове *любовь* Богаткин встал, не зная, что делать с руками. Лидия Ивановна застонала и кинулась к Моцарту:

— Не те обороты!

## 6

Подполковник Сайтанов сидел в кресле, повесив на ручки кресла голые ноги, обутые в офицерские сапоги.

— Это же прямо слов таких не сыщешь! — трепетала перед ним совершенно голая Кира Васильевна, на шее которой болтался пышный лисий воротник с ослабившейся мордой. — Я даже теряюсь, с чем сравнить? с кабачком? торпедой? дирижаблем?

— Пусть будет дирижабль... — рассудил подполковник Сайтанов и ласково шлепнул Киру Васильевну дирижаблем по носу.

## 7

— Что??? — вылупилась блеклая блондинка с черными корешками волос, приподнимая тяжелое сорокапятилетнее тело из горячей ванны.

— Иначе — не получится, — печально сказал Юрий Тарасович, сидя в ванне напротив нее.

— Ты соображаешь, *что* ты мне предлагаешь?!

Вода капала с обвислых сосков.

— Но иначе...

— Что значит иначе? Ты сказал: там холодно. Ладно. Хотя, Юра, *там*, в постели, было тепло. Пошли сюда. Здесь Африка!!! Я первый раз в жизни сижу с женщиной в одной ванне. Ты сказал, что любишь меня...

— Сказал.

— Можно ли любить женщину, Юра, и предлагать ей такую вещь? Я не знаю, почему я тебя не волную... Мой муж, допустим, мужик и подонок, но я ничего подобного от него не

слышала... Это же, Юра, пойми меня правильно — зверство. Как ты мог такое предложить мне, Юра?

— Прости, — сказал Богаткин.

— И ты своей жене тоже *такое* предлагаешь?

— Она сама просит, — честно ответил Богаткин.

Озадаченная, Лидия Ивановна снова погрузилась в воду.

— Чудовищно... — пробормотала она. — А мы всегда в темноте, совестясь... Мой муж вообще человек стыдливый, на пляже стесняется переодеться. Ходит, ищет кусты погуще...

— Монах, — засмеялся Богаткин.

— Нет, в этом смысле он чистый человек... Ты себе не представляешь, *как* ты меня унизил!

Она заплакала.

— Ты меня любишь?

Богаткин помедлил с ответом.

— Почему ты молчишь?

Богаткин молчал.

— *Юра, ты меня любишь?*

— Прости, — сказал Богаткин. — Я тебя не люблю.

Лидия Ивановна перестала плакать.

— Уходи. Немедленно, — сказала она мертвым голосом.

Богаткин с шумом встал из воды, пряча стыд в горсти, как детскую соску-пустышку.

## 8

Проскакал с песней подполковник Сайтанов.

Прошел Федот Губернаторов, положительный персонаж моего романа.

Прошли Шверник и Шварцман.

Прошел и Глинка. Коварный тип.

Промчалась Бондаренко. Метнула на ходу:

— Усова не видели?

Прошла Сайтанова с припухшими железами.

— Ну, что, вставил ей? — спросил Арутюнов, все еще пахнувший лещом и пивом.

— Вставил, — сказал Богаткин.

— Ну, и как? — поинтересовался миниатюрный Харкевич.

— Кричала, — сказал Богаткин.

— Это хорошо, — одобрил Арутюнов.

— А где ваш друг Жданов? — спросил Богаткин.

— Отравился, — ответили Харкевич и Арутюнов.

Прошел отравившийся Жданов.

Богаткин оглушительно чихнул.

«Любопытная вещь, — подумал Богаткин, сморкаясь. — С виду Лидия Ивановна такая интеллигентная, такая деликатная женщина, а в жопе у нее растут густые черные волосы...»

— Парадокс, — прошептал Богаткин. Он был простужен и меланхоличен.

1978 год

### Исповедь икрофила

Это стряслось со мной в том нежном возрасте, когда вместо памяти в голове стоит розовая сырость, но ты уже твердо знаешь, что тебя зовут *Вадик*, когда мир пахнет черными мамиными волосами, когда папа ходит, задевая голову о потолок, и осторожничают с

вещами и людьми, потому что он очень сильный. Он сажает меня на колени, я хватаю его за мясистую грушу носа и раскачиваю ее, хохоча, булькая всем своим маленьким существом, но вдруг становлюсь серьезным и говорю:

— Папа! И-ка!

Он смотрит на меня с расплывом улыбки:

— Не и-ка, детка, а река. Скажи: река.

— И-ка!

— Река, Вадик, — говорит мама мягко.

— Какие бывают реки? — задумчиво спрашивает папа и сам отвечает: — Москва-река, Волга, Миссисипи, Янцзы, Яуза, Сретенка... то есть Неглинка, но она в трубах...

— И-ка! — кричу я. — И-ка!

Я близок к истерике. Я вижу желтый, как Янцзы, настороженный папин глаз. Но маму осеняет:

— Икра! Он хочет икры. Вадюшка, маленький, лапочка, хочет икорки? — сюсюкает мама, обращаясь ко мне в третьем лице, чего я не перевариваю и потому отвечаю ей холодно и иронично:

— Йез, сэл.

Я ловлю запах дикой икорной солёности, я гложу от него, я возбуждаюсь, у меня набухают соски, я весь красен, меня трясет. Скорее! Скорее! Мама! Мамины неповоротливые руки никогда не кончат делать бутерброд... Ем, ем, задыхаясь, не пережевывая хлеба, в блаженстве давя языком липкие икринки, и — отпускает; можно жить дальше, и папа берет «Мойдодыра»...

Сбесившийся родственник, рыжебородый монстр прислал нам с Дона в подарок литровую банку зернистой отравы. Судьба наказала злодея не медля: его в тот же год переехал собственный «москвич», замешанный на тихой, как омут, икре, а я был оставлен мучиться и мучить других.

Банку съели. Я требовал еще. Мама сходила в магазин и купила. В те незабвенные времена гастрономии и культуры личности икра продавалась на каждом перекрестке, но она была не по карману моим родителями, и они попытались меня от нее отучить. Давали суррогаты. До сих пор содрогаюсь от простого сочетания слов: *рыбий жир*. Впоследствии пробовали пустить в ход искусственную. Пустая затея! Единственным заменителем могла служить паюсная. «Будешь канючить — выпорю!» — взорвался папа. Меня оставили без икры. На второй день «голодовки» начались обмороки, на третий — зарядили кровавые поносы, на четвертый — все тело покрылось красными волдырями и ночью мне беспрерывно снились пожары и демонстрации. Я стал заговариваться и задыхаться. На пятый — мама не выдержала, скормила мне несколько баночек, и все прекратилось.

Меня показывали врачам. Врачи беспомощно открещивались рецептами касторки. Правда, один профессор, *звезда*, заинтересовался моим случаем и предложил бедной маме положить меня в его клинику на всю жизнь для наблюдения. Помню, как мама блеснула на него глазами:

— Я не желаю, чтобы мой сын стал подопытной морской свиньей, — нервно сказала она (наверное, потом жалела об этих словах) и навсегда увела меня из медицинского мира.

Однажды пригласили гипнотизера в дымчатых очках. Он усыпил меня прикосновением ладони и во сне внушил мысль, что икра — пакость. Я проснулся веселый, со светлой верой в его слова, но что-то во мне было сильнее этой веры, и с отвращением, крича и содрогаясь, я снова принялся есть «пакость». Видя мои мучения, мама потребовала меня разгипнотизировать. Обиженный гипнотизер с неудовольствием сделал это за двойную плату.

Я познал свою норму: три баночки в 56,8 г, или шесть унций в день. Верхнего предела не существовало, причем впрок, на несколько дней вперед, наестся было невозможно. Папа больше не задевал за потолок; смоляные мамины волосы пахли гарью первых седин. Суеверная бабушка молилась за меня в православном храме Заступнице, но молитвы не

возымели действия. Бабушка продала свою непарную бриллиантовую сережку с правого уха, отдала деньги родителям, вздохнула и умерла.

Я помню пионерское лето, линейки натошак, перед завтраком, походы, взвейтесь кострами... Я лежу в большой палате... синие ночи... пионервожатая тушит свет, строго наказывая нам не держать руки под одеялом... мы пионеры — дети рабочих... я жду, когда окончится бой подушками, когда запыхавшиеся взмыленные пацаны с перьями и пухом в волосах упадут, сраженные усталостью, на постели и засопят до утреннего горна... затем бесшумно лезу в тайник под матрац, достаю заветную баночку, привычными движениями вскрываю ее и начинаю жадно есть пальцем.

— Ты не знаешь, почему нельзя держать руки под одеялом? — вдруг отзывается сосед-тихоня.

От неожиданности я давлюсь, потом, откашлявшись, равнодушным голосом мямлю:

— Это не гегенично.

Я не знаю ни смысла, ни причины тарабарского слова.

— Почему не... А ты что ешь? Уй, дай мне тоже!

— Это лекарство, — страшным шепотом шепчу я.

— Ты что, болен?

— Болен. Только об этом никому, понял?

Наутро он предал меня вожатой, в восторге ябедничества приврав при этом, что я держал руки под одеялом. Меня тащат к толстой врачихе с брезгливыми пальцами. Та требует признаний, берет меня «на пушку», заставляет мерить температуру, показывать язык, спускать штаны. Я молча терплю ее пытку, за что получаю пять суток карантинного бокса и погружаюсь в серую влажную тоску простыней.

Дальше — хуже. Поступив в институт, я после первого курса поехал со стройотрядом на залежные земли, и там, в моем рюкзаке, под тренировочным костюмом, во время алкогольного сыска, комиссия обнаружила целых пятьдесят стограммовых банок зернистой икры. Негодование всколыхнуло сердца стройотряда. Меня обдали единогласным презрением. Мнения, однако, разделились: одни утверждали, что я хотел подкупить прораба, чтобы получать работу полегче, другие считали, что я намеревался соблазнить непорочных казашек... Под горячую руку меня чуть было не исключили из комсомола, но вместо этого заставили публично разбить все банки и выбросить в мусорную яму. Помню, в ночь после собрания я ползал туда собирать в бидончик икринки, перемешанные со стеклом и землей. Я прятал бидончик в сарае для инвентаря.

Отец мой, любитель научных теорий, выдвинул предположение, что тяга к икре объясняется сексуальной неудовлетворенностью, и меня вскоре обженит и, что было тем проще, что я без ума любил Таню Б., которая не догадывалась о моей тайной порче. На свадьбе, помнится, было много икры... На следующий день я признался Тане в пороке, но она отнеслась к нему как-то игриво, пообещав мне, смеясь, поддержку и понимание. Увы, очень скоро она осознала свою легкомысленность и мою подлость. После работы я носился по городу в поисках икры, заводил знакомства с темными личностями, человеческими отбросами рыбной торговли, которым отдавал почти всю зарплату. Таня плакала, называла меня «бездушным эгоистом», призывала скорее защищать диссертацию и выходить в люди, потому что там, в людях, легче прожитье моим горем. Но хрупкое деревце диссертации, нуждающееся в уходе и искусственных удобрениях, на глазах вяло, морщилось, сохло. В припадке отчаяния Таня бросилась жаловаться на меня своему брату, мастеру спорта по художественной кретинистике, который явился для разговорца. Разговорец с глазу на глаз свелся к тому, что брат посоветовал мне перестать дурить, иначе он обещал кое-что мне оторвать. Я пытался ему объяснить, что это не дурь и не блажь, а боль моя и светопреставление, что не нужно грубить, но он стал трясти меня за плечи и, самовоспалась в святой ярости, в сердцах сунул мне кухонный нож меж лопаток. Я упал и вскоре умер. Меня реанимировали. Потом я снова умер. И снова меня воскресили. О том, что я видел, пока был мертвым, толком сказать не могу. Видимо, потому, что меня быстро

воскрешали. Но, кажется, был там какой-то с облупившейся краской трамвай без колес... Впрочем, точно не помню. Я провалялся в беспамятстве три недели, а когда наконец пришел в себя, то первое, что попросил, была, конечно, не вода. Танюша с припухшими веками кормила меня моей сладкой цикутой с ложечки, печально повествуя о том, что брат обезумел от раскаяния и по ночам разгружает вагоны... Я сказал симпатичному следователю, что у нас, словно дикие травы, сквозь пол прорастают ножи и я случайно упал на один такой сорняк навзничь. Он поверил, так как у него тоже произрастали в квартире различные столовые приборы, причем особенно расплодился бесполезный гибрид ножа с ложкой. «Это какое-то невысказанное ножеложество», — жаловался он мне.

Отец выдвинул новую теорию, согласно которой нам с Таней следовало завести ребенка, чтобы я смог сублимировать на него свою несчастную любовь. Его изысканный фрейдизм не помог мне и на этот раз. Рождение Павлика не отвратило меня от икры; я стал объедать не только жену, но и мальчика. Тем временем сослуживцы обзаводились телевизорами, арабской мебелью, нагуливали в обществе вес и по ночам, даже не таясь от себя, подумывали о приобретении «запорожцев». Мы же снимали чужие углы и экономили на папиросах. Танин брат два раза разгрузил вагоны, а затем, ко всеобщему облегчению, растворился в городском чаду. Бедная Таня, Танюша, особенно жалко мне было тебя! Зачем, зачем вовлек я тебя в авантюру! Бледная, нервная, худенькая... Я любил ее издали, не решаясь приблизиться.

Как-то в воскресный день мы позволили себе роскошь прокатиться наречном трамвайчике с Павликом. День был чудесный, кончался сентябрь. С бордовых теннисных кортов долетали до нас сочные круглые звуки мячей. В рыжей цыганской юбке до пят стояли Ленинские горы. Университетский шпиль распустил на солнце павлиний хвост. Павлик бегал по палубе и смеялся. Вдруг он остановился, заупрямился, посмотрел на воду и произнес отчетливо:

— И-ка!

Таня слабо вскрикнула, потеряла сознание и опрокинулась за борт. На счастье, в нашем трамвайчике плыла самоотверженная группа юношей. Они выловили и откачали Таню, а заодно и меня, неуклюже выбросившегося ей вслед. С тех пор она начала заикаться. Я долго убеждал ее в том, что Павлик имел в виду реку. Он сам, маленький, говорил:

— Да, я имел в виду е-ку, мамочка, — и Таня слабенкой рукой гладила его по головке, но заикаться не перестала. Павлик пошел в маму, к икре он был равнодушен. Тем не менее, мы все больше опускались на дно. Деревце диссертации погибло. Я распилил его ствол и вынес на помойку. Таня с ненавистью твердила: «Эгоист». Я сделал отчаянную попытку переехать с семьей в Астрахань, чтобы устроиться там работать на рыбоконсервном комбинате и утолять свою страсть минимальными средствами. Но Таня в последнюю минуту не захотела покинуть Москву. Тогда на коленях я стал умолять ее развестись со мной и начать новую жизнь, а она только качала головой и, жарко давясь согласными, спрашивала: «Какая для зайки может быть новая жизнь?»

Я чувствовал, что мы погибаем, и мысль о самоуничтожении все чаще посещала мои сиреневый от одури мозг. Это так просто. Я снова увижу трамвай без колес, вот и все. Но мне нужно было оправдаться перед Павликом, который вырастет и гневно спросит: «Что за сукин сын был мой отец?» И я решил выплеснуть всю горечь и стыд на бумагу. По ночам, хоронясь от Тани, на пустой коммунальной кухне, под присмотром газовых плит, я писал эту исповедь, обливаясь слезами, рвал и комкал бумагу. До мяса прокусил себе локти обеих рук. От боли я зажимал в кулак губы, чтобы не завопить, не всполошить ночной муравейник соседей. Я писал ее тринадцать ночей, и тринадцать ночей в голове ревел и мастурбировал слепой орангутанг вдох- и выдохновения. Написав, я стал пуст, как беззубый рот, как бутылка алкоголика, которую он несет сдавать в магазин. Я был пуст... я был пуст... Я подошел к холодильнику, где соседи из жалости соглашались держать нам икру для мальчика, открыл баночку и замер. Мне не хотелось ее есть. Ее звериный запах не оглушил меня, не возбудил, не растревожил даже... Я стоял перед ней, вялый и

равнодушный. Я закрыл баночку, сунул ее обратно в холодильник и пошел спать. На следующий день повторилось то же самое... Я подождал еще два дня в томлении, в сладких предчувствиях и в остром недоверии к себе. Меня не мучили ни обмороки, ни поносы. На пятый день я понял, что спасен.

Спасен! О, чудотворчества! О, магия словесных игр! Я захлебнулся от нежности к слову. Я ласкал родное несовершенство его сплетений, шероховатость его кожи, девичью упрямоть его изгибов, оно жило, дышало в моих руках, я целовал его коленки...

А когда, ворвавшись с воплем в комнату, перепугав Павлушу, я бросился к своей жене и рассказал о чуде исцеления, трясая ее, хватая за руки и плача, она усмехнулась бескровной полоской своих тонких и длинных, как горизонт, губ и промычала скорбно:

— П-п-поозззно, ууу-мм-ум-нн-ик!

## Враг

Поэт со странной для еврея фамилией *Трясина* задумал теракт. Я знал француза с фамилией *Хруц* — меня мало чем удивишь. Теракт обещал быть художественным. Если художник занимает место своего произведения, если он *вместо*, то с ним нужно рядом. И когда Трясина спросил: «Ты пойдешь со мной?», я ответил «нет». «Ты пойдешь со мной!» — сказал Трясина, и я сказал «да». Я, может быть, слабовольный, но отнюдь не слабохарактерный.

Трясина выбрал меня, человека из светской хроники, потому что он стал ньюс-мейкером, написав сильное для своего времени двустихие:

П'опы бывают самые разные:  
Очень большие и очень грязные.

Но не успел Трясина окунуться в *голубизну*, как васильки отцвели, теперь не котируются. Мода прошла, особенно на «очень грязные» попы, ибо сколько можно жить бунтом? Чернуха обрыдла. Но я все равно люблю эти стихи, и все их любят, или завидуют.

Просто время пришло другое, время действия.

— Вот вам тапки, — сказал Иван Григорьевич. — Здравствуйте.

Он присмотрелся к нам, а мы присмотрелись к нему.

Трясина перекрасился в блондина и стал похож на жирного хохла. У меня тоже были причины маскироваться. Я наклеил мерзкие усики и надел черные, рейбановские, очки. Иван Григорьевич недавно публично назвал меня *мелкой гнидой на службе разврата*.

Трясина держал в руках лампу и штатив. А я держал допотопную любительскую видеокамеру, которая отдаленно смахивала на профессиональную.

Я пожал руку своему давнишнему врагу. Он был для меня легендой. Меня колотило от его книг, когда я был еще школьником. И моя покойная мама, учительница черчения, никогда не рвавшая книг, читала и рвала страницу за страницей, рвала и бросала, со слезами оппозиционного бессилия. При ближайшем рассмотрении образ врага оказался:

анально устойчивый,

с красными раздавленными глазами,

в *бабушах*, которые годами бережно хранят запах вони,

вяло летающий в морозном поднебесье, оставляя за собой струйку пара,

курлык-курлык,

пантера мочегонная,

с остывшей, отслоившейся кожей.

Видно, ночами он сильно потел холодным потом. Лежал на дуршлаке давно отброшенными макаронами.

— А я как раз подумал, Иван Григорьевич, нужно ли нам разуваться, — сказал Трясина слащавым голосом телередактора.

— С некоторых пор, — признался Иван Григорьевич, — я читаю чужие мысли. Даже на расстоянии.

— Боже! — воскликнул шустрый Трясина. — Неужели вы сразу догадались, что мы пришли вас убить и ограбить?

— Ну, ограбить — не ограбить, — внес ясность Иван Григорьевич, — а телевизионщикам я не шибко доверяю.

Мы вошли в главную комнату врага. Враг жил с розовыми обоями. На серванте стоял танк. — Дело моей жизни, — по-простому, по-доброму сказал Иван Григорьевич, показывая на авторские экземпляры, выставленные в честь нашей встречи. Подняв ногу, поодаль от танка кружилась балеринка. Одна книга — самая знаменитая — лежала крошечной фотокопией.

— В самиздате издавались, — игриво отметил Трясина.

— Читатели делали. А что оставалось, когда роман изъяли из библиотек?

— Так вы диссидент! — подобострастно глумился Трясина.

— Возможно, — потупился хозяин. — Но с обратным знаком.

Бюст самого Ивана Григорьевича с молодеватым лицом черного металлического цвета расположился на подоконнике. Мы стали расставлять аппаратуру.

— Теперь мы вас подгримируем, — сказал Трясина и достал коробку с гримом.

— Да чего меня реставрировать! — возмутился, нос некоторым кокетством, Иван Григорьевич.

— Не скажите, — покачал своей перекрашенной головой Трясина и принялся румянить старика. Он вынул губную помаду и сделал ему большие красные губы. Ивана Григорьевича можно было немедленно выставлять в гробу напоказ такой же сволочи, как и он сам.

— Зачем помада? — заволновался Иван Григорьевич. — Я же мужчина.

— Иначе дыра будет вместо рта, — строго пояснил Трясина.

— А вы, собственно, из какой телекомпании? — вдруг с подозрением спросил загримированный враг. — Ведь вы все вырежете!

— Не вырежем! — Я улыбнулся ему и сел в кресло, а он сидел на стуле и волновался, сложив на стол некрасивые руки.

— Мотор! — крикнул Трясина самому себе.

Поскольку камера была без кассет и без батареи, Трясине нечего было делать. Он только смотрел в слепой глазок, оттопырив зад.

— Иван Григорьевич! — сказал я приподнятым голосом. — Вы...

— День добрый, уважаемые зрители! — перебил меня Иван Григорьевич.

— Да-да, — сказал я. — Вот только насколько он добрый, этот день?

Иван Григорьевич нахмурился.

— В трудное время мы живем, это верно.

— И вот мой первый вопрос: расскажите о вашем детстве.

— Я ветеран, — заговорил Иван Григорьевич. — С первого дня войны бил фашистов. Под Варшавой меня контузило. После войны под руководством маршала Рокоссовского наводил в Польше порядок. Там было много всякой нечисти.

Я непроизвольно кивнул головой.

— Победа далась нам нелегко. — Он резко встал со стула и вышел из комнаты.

— Чего это он? — спросил Трясина.

В ответ раздался жуткий пердеж из уборной.

— Испражняется, — оживился Трясина. — Со страшной силой срет. Пора!

— Постой, — сказал я. — Интересно.

— Ну, смотри, — неодобрительно сказал Трясина.

Примерно через четверть часа после своего внезапного ухода Иван Григорьевич вошел с извинениями.

— Приспичило, — пояснил он.

— Иван Григорьевич! — сказал я, по-телевизионному улыбаясь. — Кто главный враг России?

— Очень зоркий вопрос, — одобрил Иван Григорьевич. — Да, чуть было не забыл. Ко мне поступил страшный документ.

Иван Григорьевич извлек из письменного стола рукописные листки, надел очки. Он стал похож на пенсионера, решившего разобраться со счетами за электричество.

— «Посеяв в России хаос, — взволнованно прочитал он, — мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в фальшивые ценности верить...» Планы разрушения нашего государства изложены в послевоенной доктрине Алена Даллеса. Вот как рекомендует действовать шеф ЦРУ: «Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на Земле народа».

— Гибели самого непокорного народа? — переспросил я.

— Директива точно осуществилась, — безжалостно кивнул писатель. — Как? Вот послушайте: «Из литературы и искусства мы, например, вытравим их социальную сущность, отобьем у художников охоту заниматься изображением процессов, которые происходят в глубинах народных масс».

— Это им удалось, — легко согласился Трясина.

— Все началось еще при Никите, — объяснил нам Иван Григорьевич. — Но и в брежневские годы ЦРУ не сидело сложа руки. Каждый второй член Политбюро был масон.

— Кто же конкретно виновен в развале великой державы? — воскликнул я.

— Суслов! — раздался слабый голос.

Мы оглянулись и вздрогнули. С распущенными волосами за нами стояла тощая отвратительная старуха с простым русским лицом и кровавыми тампонами в ноздрях. Трясина с присущей ему элегантностью поцеловал хозяйке руку.

— Она глухая, — сказал Иван Григорьевич. — Кроме того, по вечерам у нее из носа течет кровь. Это опасно для жизни.

— Иван! — промолвила Наталья Михеевна. — Где мы? Я тебя потеряла!

— Все в порядке, Наташа! — шевеля красными губами, заорал на нее Иван Григорьевич.

— Суслов заставил нас жить по указке из-за океана, — мягко вступила в разговор Наталья Михеевна. — Поддерживал подонков, награждал их лауреатскими медалями и Звездами Героев. Хрущевский зять Аджубей получил Ленинскую премию; журналист Юрий Жуков — Героя Соцтруда. А за что, за какие шедевры?

Закусив губу, Иван Григорьевич устремил на Наталью Михеевну взгляд беспомощной растерянности и священного негодования. Потом заговорил негромко, даже как будто спокойно, но мы видели, какой ценой дается ему спокойствие:

— Документ напомнил мне «Протоколы сионских мудрецов». Сбылось все, как запланировано. Теперь, — кивнул он на камеру, — этот документ услышит весь народ.

— Не ты ли мне говорил, родной, что народа нет, а есть толпа, масса? — спросила Наталья Михеевна.

— Надеюсь, сегодняшняя обманутая толпа завтра превратится в народ. Но народу русскому очень тяжело будет поднять страну. Внутри него за последние годы появилось много врагов России. И главные среди них — молодежь. Эти жестокие уроды запросто насилуют и убивают своих подруг за джинсы, за «видик». А теперь, родная, — заорал Иван Григорьевич, — налей-ка нам горячего чайку! Да покрепче!

Наталья Михеевна и Трясина гуськом потянулись на кухню.

— Он выключил камеру?

Я кивнул. Иван Григорьевич хитро покосился на меня.

— Ты думаешь, я старый гриб?

Он подскочил к двери кабинета. Щелкнул замок.

— Смотри!

Он приоткрыл тот самый ящик письменного стола, из которого вынимал документ ЦРУ, и протянул мне чуть дрогнувшей рукой фотографию. Лебедь с полураскрытыми крыльями, стоящий позади девушки, нежно касался ее обнаженных плеч. Голова девушки с развевающимися волосами была слегка запрокинута в сладкой истоме. Изящная шея лебеда покоилась на светлом, приятно припухшем лобке.

— Журналистка, — зажмурился Иван Григорьевич. — Единомышленница.

— Согрей меня, любимый.

Иван Григорьевич перенес электронагреватель в спальню, куда уже упорхнула Алена. И снова послышалось воркование возлюбленных в теплой постельке:

— Ванечка, тебе хорошо со мной, ты не жалеешь?

— Зоряночка, зачем спрашиваешь? Мне хочется кричать: «Люди! Я счастлив».

— А вы говорите, что для вас секс не существует, — сказал я, тронутый его доверительностью, возвращая фотографию голой журналистки.

— Любовниц я не признаю, не для меня, — посуровел Иван Григорьевич. — У меня может быть только возлюбленная.

— Разве это не одно и то же? — сделанным удивлением спросил я.

— Далеко не одно. Любовница — это нечто проходящее, вроде простуды. Возлюбленная — предмет неугасимого обожания.

— Ну, коль вы так считаете — я к вашим услугам, — кротко сказала Алена, залезая под одеяло. И за ней запахло.

Помолчав немного, Иван Григорьевич принялся рассуждать вслух:

— Почему я не встретил вас ну хотя бы лет десять назад?

Как умная девушка она, конечно, понимала, *что* его гложет, и старалась развеять его сомнения.

— Вы все о возрасте своем! — легкомысленно сказала Алена. — Забудьте о нем — у вас прекрасный возраст. Вспомните Мазепу и Марию. Или семидесятилетнего Гёте и его шестнадцатилетнюю У...

— Все это аномалии из «Книги Гиннеса», — с грустью отрезал Иван Григорьевич.

И Алена решила первой сделать шаг.

— Разве я не гожусь? — устремила она на него знойный взгляд.

Лицо ее пылало. Духовная близость непременно рождает и плотскую. И наоборот. В дверь кабинета несмело постучались.

— Иван! — раздался голосок Натальи Михеевны. — Ты чего, Иван? Заперся, что ли?

— А все-таки я ее не брошу! — категорически сказал Иван Григорьевич, сверкнув глазами на замок. — Старуха без меня пропадет.

— Иду! — крикнул он и, распахнув дверь с чувством душевного подъема, неожиданно для всех запел:

Ты для меня одна заветная,

Другой не будет никогда...

Иван Григорьевич подошел к окну, минуя ярко горящую лампу, посмотрел на улицу и вдруг ощутил, что это даже не Москва, а просто — город. Лишенный души и совести.

— Так, какие еще вопросы? — с некоторым раздражением спросил он.

— Давайте уточним наши разногласия, — услышал Иван Григорьевич собственный голос. Не так давно в его сновидениях появилось нечто необыкновенное. Он слышал как бы самого себя, читающего себе же трактат на злобу дня. Некоторые положения изумляли его своей новизной.

— Мы, то есть наша газета, называем это октябрьским переворотом, — уколол его кто-то вполне дружелюбно.

Да. Это была Алена. В трапециевидном пальто золотистого цвета, с точеными ногами и в черной норковой шапке-ушанке, она остановилась у порога, вся в снежинках, и, преодолевая смущение, сказала певучим голосом:

— Я собрала интереснейший материал: имена и фамилии пассажиров, ехавших в пломбированном вагоне вместе с Лениным. Всего сто восемьдесят девять человек. Из них русских *только* девять.

— Вы, несомненно, правы, Алена, в том, что во главе нашей революции стояли главным образом евреи, — соглашательски вымолвил Иван Григорьевич. — Коммунисты пообещали народу земной рай, и за ними пошла беднота. Я сам носил в детстве лапти.

— Родной, единственный вы мой лапотник! — с неподдельным чувством произнесла журналистка.

Неволью она вспомнила своего моряка из Кронштадта — Игоря. Сопоставила. Ничего похожего. То был надрывный зов плоти, нездоровое любопытство, граничащее с эротизмом. Но не было пожара души, безумства чувств, нахлынувших внезапно, как ураган. К Игорю даже нежности не было такой, какую она испытывала к Ивану Григорьевичу. Необыкновенный самородок!

А необыкновенный самородок метался по квартире в вихре самых приятных мыслей. Огромное чувство овладело им безраздельно и властно.

— Я полюбил тебя вселенской любовью.

— О, как шикарно! — возбудилась Алена.

К концу ужина обе бутылки были пусты. Не привычная к спиртному Алена изрядно захмелела. Не сводя умиленного взгляда с возлюбленного, она распахнула ему свою душу и откровенничала:

— Ванька, паразит, я впервые в жизни люблю. Коснись же скорее своим клювиком моего сосочка!

Она расстегнула с треском тугую застежку бюстгалтера, уставилась на него глазами человека, чуждого лжи. Иван Григорьевич покосился на литые девичьи груди и сказал неторопливо и глухо:

— Ведь были когда-то Чайковские и Мусоргские, был Шолохов. А теперь... Шнитке и Неизвестный, Ван Гог и Бродский. Это сеятели пошлости и грязи.

Аленка нервно сплюнула на пол и встала:

— Ничего! Туман рассеется, появится новый маршал Жуков, и будет солнце по-прежнему не заходить над отчизной. Поздно, милый, а я хмельна. Вот заберут меня в вытрезвитель, и желтая пресса получит лакомый материал.

— Ты никуда не уйдешь, не пуцу, — сказал он твердо, подойдя к ее телу вплотную.

И тут Ивану Григорьевичу вспомнилось темное пятно, размером с березовый лист, на ее бедре. Это пятно он заметил, правда, еще в ванне, но деликатно промолчал. Теперь решил полюбопытствовать:

— Ожог?

Теребя его усы, Аленка отшутилась в ответ:

— Нет, родимое пятно. Особая метка.

Она прижалась к нему и, нащупав у него на плече родинку величиной с лесной орех, лукаво сказала:

— А у тебя, ну, конечно, я помню по детству, тоже есть производственный брак.

— Знакомый хирург предлагал удалить, — мучительно, до слез застеснялся он как человек военного поколения, — да я отказался, зачем резать? Мне не мешает.

Так они лежали в постели и говорили о негасимой любви, о бессмертии души и опять о любви и верности.

— Материальное благополучие, — сказал Иван Григорьевич, — дело третьестепенное. Вдвоем мы выживем назло миллионерам. У нас есть главное — наша любовь. Она нам поможет выстоять в жестокой борьбе.

Он осенил ее благодарным взглядом, бережно, как хрупкую чашку, взял тонкую руку, поднес к губам. Она нежно потрепала его по щеке:

— Не падай духом: мы с тобой патриоты.

— А репрессии? — не выдержал Трясина, грассируя от волнения.

— Опись личного имущества Сталина, — спокойно пожал плечами Иван Григорьевич, — составленная после его смерти, неумолимо свидетельствует: три костюма, трое брюк, одни подтяжки, семь пар носков, четыре пары кальсон и четыре трубки.

— Иван Григорьевич, — сказал я. — Я вижу у вас в кабинете среди портретов великих людей с погонами портрет скромной белокурой девушки, как две капли воды похожей на вас и вашу супругу. Судя по прическе, это портрет двадцатилетней давности.

— Наташа! — закричал Иван Григорьевич. — Они нас спрашивают о нашей дочери.

Наталья Михеевна горестно поджала губы. Она сидела в обтрепанном халате, из-под которого виднелось несвежее, обильно залитое кровью белье.

— Она погибла на мотоцикле, — сказала Наталья Михеевна, и плечи старушки затряслись от бесшумного плача.

— Это не вся правда! — закричал на старуху Иван Григорьевич и затопал ногами.

Трясина, с бледными губами, выглянул из-за камеры.

— Это наша убиенная дочь, — сказал Иван Григорьевич. — Она ехала со своим женихом на мотоцикле. Их сбили. И вместо того, чтобы оказать нашей дочери первую медицинскую помощь, преступники глумились над ее раненым телом, насильовали умирающую плоть и кровь и ушли, злобно засунув в ее розовую нежную писечку пустую бутылку из-под, извините, «Кола-колы». Она умерла в больнице. Они отомстили мне!

— Кто они? — спросил я.

Алмазные росы сверкали в солнечных зайчиках. Вопреки всем невзгодам и напастям, природа жила по закону, и никто не мог помешать естественному ходу ее жизнедеятельности.

— Это был ваш единственный ребенок? — уточнил Трясина.

Наталья Михеевна заплакала так, словно это случилось вчера.

— Блядь, какой ужас! — сорвалось у меня с языка.

Иван Григорьевич сделал вид, что не услышал похабного слова. Весна справляла пробуждение природы, выставив напоказ нерукотворную красоту. В Останкинском парке выводили свои рулады соловьи. В семидесяти километрах на север от столицы они еще помалкивали.

Аленка притихла, затаилась, прислушиваясь к тишине. Иван Григорьевич тоже настороженно ждал. И вот преподобный Сергей из каменного превратился в живого. Стукнул грозно посохом о землю:

— Ну что, ветеран, больно России?

И видит Иван Григорьевич, что перед ним уже не Сергей Радонежский, а Фидель Кастро. И Фидель говорит ему: «Предали вы и советскую власть, и революционную Кубу. Социализм предали». Хочет Иван Григорьевич что-то сказать, объяснить, что нас самих предали, продали, Аленку убили, а слов нет, голоса нет. И Фидель продолжает с присущей ему страстью: «Россия стала колонией США, но Куба не сдастся! К нам на помощь придут небесные ангелы, и мы победим! Они уже летят, я слышу их позывные! Смотрите, вон они, наши спасители. Видите их корабли-тарелки?!»

— Да, — кивнул я, искренне вглядываясь в весеннее московское небо. — Вижу!

— Ну и тогда я все понял, — полушепотом сказал нам в камеру Иван Григорьевич. — Все окончательно понял.

Он сделал паузу. Мы с Трясиной испуганно смотрели на него.

— Люди! — обратился Иван Григорьевич к телезрителям, стирая помаду с губ. — Много тысячелетий назад из другой галактики было занесено на Землю семя сообразительных двуногих, высокомерных эгоистов. Оказавшись среди простодушных аборигенов, они повсюду вели себя вирусами.

Эти возбудители зла, — гремел голос Ивана Григорьевича, и я невольно залюбовался стариком, — легко входят в местную среду, но не растворяются в ней, не меняют своей сути разрушителей. Через тайную секту они уже правят планетой, правда, пока еще тайно. На пути к мировому господству у них стояла наша великая страна. Теперь ее нет, они убрали препятствие со своего черного пути. Наша планета погружается в океан лжи.

— Восстаньте, руссичи, — зашептала Аленка, — и стар и млад, забудьте распри и обиды, всем миром навалитесь на чудище! Князя Александр и Дмитрий! Сталин и Иисус Христос! Воскресните в образе внуков и правнуков! Не пожалейте живота своего за Русь святую... О-о-ой! — глубоко интимно застонала она. — Ай!

Губы ее приотворились. Сумерки стали сгущаться. Дочь и отец вместе опрокинулись в приятную легкую дрему.

— Это прямой призыв к уничтожению евреев, — сказал Трясина, курия на лестнице.

— У них дочь погибла, — поморщился я.

— Жертва дорожно-транспортного происшествия, — сказал Трясина.

— Бери камеру и пошли.

Трясина медленно покачал головой. Все вокруг было засрано хулиганами.

— Я как еврей...

— Ну хорошо-хорошо, — сказал я. — Уходя, плюнь ему в харю. От меня тоже. Я уже туда не пойду.

Трясине очень не понравилось, что я снял липовые усы, и он сказал:

— Если я не раздавлю эту гадину, прольется много крови.

— Пойдем, — попросил я. — Сплошной маразм и больше ничего.

— Это заразительный маразм. — Он закурил новую сигарету.

— Дед влюблен, — сказал я. — Оставь его в покое.

Трясина только рукой махнул.

— Слушай, сионист, — засмеялся я, — ты ничего не понял. Там старуха.

— Я не знал, что ты трус, — сказал Трясина.

— Миленький! — Я схватил его за рукав. У меня вдруг обнаружился какой-то визжащий бабий голос, и мне стало стыдно продолжать. Я никогда в жизни не визжал до тех пор бабьим голосом.

Я пошел вниз по лестнице. Я слышал, как хлопнула дверь Аленкиной квартиры.

1995 год

## Владимир Сорокин

### Об авторе:

#### *Интервью Владимира Сорокина*<sup>106</sup>

#### *"Насилие над человеком - это феномен, который меня всегда притягивал..."*

*Татьяна Восковская: Владимир, скажите, какие писатели, поэты повлияли на ваше творчество?*

*Владимир Сорокин: Мои детские травмы прежде всего повлияли. Их было достаточно много.*

*Т.В.: Травмы душевные?*

*В.С.: И физические. Я был довольно аутичным ребенком, я был погружен, жил как бы параллельно в двух мирах: мире фантазий и мире реальном. Если говорить о влиянии, то на меня больше повлияли кино и изобразительное искусство, чем литература.*

*Т.В.: А какое кино?*

*В.С.: Кино разное, кино как принцип вообще, как создание некой реальности. Кино было близко моим фантазиям. Изобразительное искусство - уже позднее. Это, конечно же, сюрреализм, поп-арт и соц-арт. В этой мастерской я оказался впервые в 1977 -м,*

Булатов и Кабаков - они повлияли на меня. Я попал к Булатову, когда сам занимался графикой, но непонятным образом они стимулировали процесс писания. Мои первые литературные опыты им очень понравились, они это приветствовали, что меня вдохновило. Это если говорить о влиянии. Джойса я прочел потом, и литература на меня так не повлияла, как изобразительное искусство. Процесс фантазирования и переживания этих фантазий для меня первичен, а литература по отношению к нему вторична. Мир фантазирования, в котором я живу до сих пор, развивается как и я, прошел со мной все периоды.

Т.В.: То есть вы себя ощущаете все время параллельно в двух мирах: реальном и фантазийном. Что вам нравится больше, где вам нравится больше себя ощущать - или нравится сравнивать?

В.С.: Понимаете, у меня нет механизма оценки этих миров, они как бы есть и от них никуда не денешься. Я не могу их оценить, какие они - хорошие или плохие. Но в общем жизнь, конечно, тяжела, довольно муторна.

Т.В.: Довольно муторна в силу каких-то бытовых или других обстоятельств?

В.С.: Нет, вообще телесность наша, наша зависимость от тела, необходимость учитывать его постоянно, с ним считаться, учитывать других людей...

Т.В.: А вы следите за тем, что происходит сейчас в "молодой" русской литературе, вам это интересно?

В.С.: Я вообще слежу за молодым поколением, это очень интересно. О литературе сейчас говорить смешно, потому что не время литературы вообще, потому что произошла полная победа визуальных практик, они целиком подавили печатное слово. Оно лишено своего прежнего мифа, и влияние визуального будет расти через визуальную практику. Поэтому для меня сейчас интересна не литература молодых, которой просто нет, а вот то, что происходит со словом вообще, как оно мутирует под влиянием визуальных практик и как оно меняется.

Т.В.: И именно в силу осознания этого обстоятельства вы решили заняться другими формами, например киносценариями?

В.С.: Ну, в общем, да. Сейчас к литературному процессу в чистом виде я пока не хочу возвращаться. Думаю, я вернусь к нему потом, но сейчас интересно проникнуть в другой жанр, там сейчас "живое место", я это чувствую просто очень хорошо, там интересно работать.

Т.В.: Какое кино вы смотрите сейчас?

В.С.: Разное, я всегда смотрел разное кино. Мои привязанности довольно широки: от "Pulp Fiction" до "Кубанских казаков". В кино мне нравится многое.

Т.В.: Вы используете его прежде всего как материал?

В.С.: Да, конечно. Материал и удовольствие. Я всегда получал удовольствие от кино.

Т.В.: Владимир, у вас растут дочери-близнецы. Скажите, вас никогда не интересовала тема двойников, близнецов в литературе, кино?

В.С.: Нет, как ни странно. Видимо, потому что они всегда были рядом, уже 16 лет. Я один раз видел своего двойника, и это действительно большое впечатление. Но не могу сказать, что я был очарован этой темой - как Набоков, например.

Т.В.: А вы следите за тем, что читают, смотрят ваши дочери?

В.С.: Нет, я никогда не чувствовал себя отцом в традиционном понимании, потому что, видимо, никого ничему не способен научить, кроме приготовления какого-нибудь блюда. А что касается образования, каких-то семейных советов - здесь я полный ноль, поэтому всегда себя чувствовал скорее их родственником, братом, только не учителем.

Т.В.: Владимир, вы упомянули, что можете научить приготовлению какого-нибудь блюда. Вы любите готовить?

В.С.: В общем, да, я делаю это с любовью. Когда не пишется и надо чем-то руки занять, я либо играю в шахматы, либо смотрю кино, либо готовлю.

Т.В.: А какую кухню вы предпочитаете?

*В.С.: Сейчас - русскую. Рецепты забытые, которые никто не помнит. Вообще эта кухня у нас во многом забыта.*

*Т.В.: Какое ваше "фирменное" блюдо?*

*В.С.: У меня их несколько. В основном это рыбные блюда.*

*Т.В.: А водку вы пьете?*

*В.С.: Да.*

*Т.В.: А чем закусывать предпочитаете?*

*В.С.: Пожалуй, соленым огурцом.*

*Т.В.: Владимир, если бы вы составляли школьную программу, вы бы включили туда свои произведения?*

*В.С.: По поводу себя мне неловко рассуждать, а вот в 11-м классе я бы включил Пригова и Рубинштейна - только их из поэтов, а из прозаиков включил бы Мамлеева обязательно, Сашу Соколова и... ну еще кого?*

*Т.В.: "Москва - Петушки" Венедикта Ерофеева?*

*В.С.: Да-да, можно.*

*Т.В.: Владимир, чем вы можете объяснить свою большую популярность на Западе, чем в России?*

*В.С.: Властью "шестидесятников". В принципе наше время, да и вся перестройка - парадигма "шестидесятников". Собственно, это воплощение их идей; естественно, власть сейчас у них, хотя идеи уже догоняют, тем не менее... Поэтому не только я, но даже, например, Илья Кабаков тут не существует. Не существуют другие "семидесятники", те, кто внес другую эстетику, - их тоже в общем как бы нет. Нет Мамлеева, например, его никто не знает, его не заметили, как не заметили Сашу Соколова, я не говорю про более молодых. Поэтому я не вижу в этом ничего противозестественного - нормальное мышление. Несколько лет назад в Германии вышли все мои книжки, там идут пьесы мои... Я там выступаю постоянно...*

*Т.В.: В рамках фестиваля "Берлин в Москве" намечены ваши выступления в Литературном кафе в театре имени Моссовета. Перед какой публикой вам больше нравится выступать: немецкой или русской?*

*В.С.: Во всем, что касается выступлений, я меркантилен: выступаю только тогда, когда платят деньги. Просто так это неинтересно, потому что я вообще не получаю удовольствия от общения с публикой. Если и есть какие-то интересы, учитывая, что я здесь вообще не зарабатываю ничего, то я не отказываюсь, когда мне предлагают... А какая публика, мне все равно.*

*Т.В.: Владимир, на выставке в "XL" я видела, как к вам подошел молодой человек и, судя по тому, что он вам говорил, это был ваш поклонник. Что вы испытываете в такие моменты?*

*В.С.: Чувство неловкости. Не знаю почему - видимо, не умею получать удовольствия от этого, так же как и от общения с публикой. Потому что тексты и тело, которое их породило, достаточно разные вещи. Я знаю одного тонкого поэта, который как человек - жуткий такой коммунальный монстр. Вот этот разрыв, несоответствие текстов и человека - он настолько радикален, что я всегда искал у этого человека орган, который порождает стихи, но не мог найти. Поэтому благодарить Рубинштейна за то, что он породил эти тексты, для меня бессмысленно, поскольку это несознательный процесс - это все равно что благодарить мать за рождение красивого ребенка. Она здесь ни при чем, это не ее заслуга.*

*Т.В.: Владимир, а не могли бы вы подробнее остановиться на причинах особого акцента, подчеркнутой физиологичности, извращенности в ваших произведениях?*

*В.С.: О каких-то перверсиях? Мне об этом трудно говорить, потому что у меня нет понятия культурно допустимого и недопустимого у меня нет, как у людей традиционной культуры, такого резко очерченного культурного кода, за границами которого начинается культурно недопустимое. И насилие вообще, насилие над человеком - это*

феномен, который меня всегда притягивал и интересовал с детства, с тех пор, как я это испытал на себе и видел. Это меня завораживало и будило разные чувства: от отвращения до почти гипнотического возбуждения. Вот я помню, лет в девять, по-моему, отец меня впервые повез в Крым, мы там сняли милый домик с персиковым садом. В первое утро я вышел в этот сад, сорвал себе персик, начал есть и из-за забора услышал какие-то странные звуки. Я ел персик, а там потом я понял - сосед бил своего тестя. Старик плакал, и я понял, что это происходит регулярно, потому что он спросил: "За что ты меня бьешь все время?", и сосед ответил: "Бью, потому что хочется". Это было первое впечатление от Крыма: этот персик, удары и всхлипы... Поэтому насилие всегда меня притягивало. Но это не значит, что я садист - скорее наоборот, я мазохист.

Т.В.: Мазохист в душе?

В.С.: Ну да... Да, скорее, мазохист.

Т.В.: Значит, несмотря на расхожее мнение о том, что вы современный маркиз де Сад, по отношению к себе вы не можете принять такую формулировку?

В.С.: Конечно, у меня другая проблематика, чем у де Сада. Хотя если что и может нас объединять, так это процесс выяснения выносимости бумаги: сколько она может вынести. Когда я его читаю, у меня возникает чувство, что, видимо, он неосознанно решал эту проблему: веры вообще в печатное слово, заслуживает ли оно доверия вообще к тексту... Нужно ли верить в него? Меня, собственно, в литературе притягивали те гиперусилия, которые прикладывали авторы, чтобы оживить бумагу. Гиперусилия Толстого, например, потрясающи, но я как-то всегда чувствовал, что это бумага. Может быть, именно потому, что я сначала научился рисовать, а уже потом писать.

Т.В.: А вы сейчас уже не намерены делать выставки? Вам уже неинтересно?

В.С.: Выставки - нет, я вообще против галерейной индустрии, я за элитарность в искусстве, за то, чтобы искусство не было доступно всем, чтобы имело те же черты приватности, что и любая деятельность человека.

Т.В.: Принцип "чистого искусства" вам ближе?

В.С.: Не то чтобы "чистого", а элитарного. Вообще феодализм для меня наиболее приемлемый общественный строй соответственно искусство при этом строе для меня идеально было бы.

Т.В.: Почему феодализм?

В.С.: Это для России наиболее приемлемо.

Т.В.: Сейчас все говорят о кризисе искусства, постмодернизма, о том, что он исчерпал себя. Как вы оцениваете такие высказывания?

В.С.: В постмодернизме нет механизма исчерпанности, по-моему, он в нем просто не заложен, мне кажется, постмодернизм переживет все, что о нем говорят.

Т.В.: То есть он будет развиваться, развиваться и развиваться?

В.С.: Нет, он не будет развиваться, ему уже некуда развиваться. Но мне кажется, что он надолго, потому что постмодернизм - это не процесс, это состояние: в нем нет динамики. И когда я думаю о постмодернизме, я вспоминаю Древний Египет: там в течение многих веков ничего не менялось совершенно. Не менялся ни уклад жизни, ни, так сказать, иерархии, и искусство не менялось чисто формально. И очень может быть, что XX век как век процессов различных уже завершился - а то, что будет потом, будет время состояний, как мне кажется. Поэтому говорить о кризисе постмодернизма как бы нелепо вообще.

**Владимир Сорокин**

**Голубое сало**

Китайские слова и выражения, употребляемые в текст<sup>е</sup>

<sup>е</sup> Китайские слова и выражения, употребляемые в тексте

## Другие слова и выражения<sup>а</sup>

– *Взгляните!* – воскликнул Пантагрюэль. – *Вот вам несколько штук, еще не оттаявших. И он бросил на палубу целую пригоршню замерзших слов, похожих на драже, переливающихся разными цветами. Здесь были красные, зеленые, лазуревые и золотые. В наших руках они согрелись и таяли как снег, и тогда мы их действительно слышали, но не понимали, так как это был какой-то варварский язык...*  
...*Мне захотелось сохранить несколько неприличных слов в масле или переложив соломой, как сохраняют снег и лед.*

- 
- Ба** – борона  
**Байчи** – идиот  
**Баофа** – порыв  
**Бэйбиди** – гнусный  
**Бэйцаньди** – вызывающее грусть  
**Бэнхуй** – катастрофа  
**Буфуцзэ сяньсян** – безответственный  
**Ванвэй** – престол  
**Во ай ни** – я люблю тебя  
**Вэнь-цзяньцзя** – папка для бумаг  
**Гаовань** – яйца (мужск.)  
**Гаофэнь** – слишком  
**Гунмынь** – задний проход  
**Даньхуан** – желток (кличка русского прокитайской ориентации)  
**Дахуй** – съезд  
**Куайхожэнь** – весельчак  
**Кэчиди** – жалкий  
**Кэбиди** – презренный  
**Лао бай син** – деревенщина  
**Лаовай** – чужак  
**Лин жэнь мань-ди** – удовлетворительно  
**Лянмяньпай** – двурушник  
**Мошуцзя** – волшебник  
**Мэй Го** – прекрасная страна  
**Нимада** – мать твою  
**Нинь хао (ни ха)** – здравствуй  
**Няо** – моча  
**Пеньгань** – тупой  
**Пиньфади** – убогий  
**Пинганьди** – спокойно  
**Сяобень** – ссать  
**Сяотоу** – воришка  
**Сяочэ** – вагонетка  
**Сяоши** – пустяк  
**Сяочжу** – поросенок  
**Табень** – срать  
**Тудин** – лысина  
**Фынцыхуа** – карикатура  
**Ханкун мудень** – авианосец  
**Хуайдань** – мерзавец  
**Хушо бадао** – чушь  
**Хэй Лун цзян** – река Черного дракона  
**Цайюань** – огород  
**Цзинцзи** – игра  
**Цзодэ хэнь ягуаньди** – сделано со вкусом  
**Цзуанькунцы** – бурав  
**Цзы-динсянхуа** – сирень  
**Цзюй во каньлай** – как мне кажется  
**Цзюэцин нинь шэмма шихоу нэн чжуаньбэйхао ни?** – И когда вы будете готовы?

## Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

*В мире больше идолов, чем реальных вещей; это мой «злой взгляд» на мир, мое «злое ухо»...*

## Фридрих Ницше «Сумерки идолов, или как философствуют молотом»

2 января.

---

**Цюй нянь синцижи сяюй ши** – в прошлогодний воскресный дождь  
**Чантайди** – нормально  
**Чженцзеди гунян** – невинная девушка  
**Чжи-чан** – прямая кишка  
**Чжуаньмыньцзя** – специалист  
**Чжунши** – верность  
**Чоуди** – вонючий  
**Чуньжэнь** – глупец  
**Шагуа** – дурак  
**Шаонянь** – парень  
**Шен шен** – животворная сила  
**Шаншуйхуа** – пейзаж  
**Шици** – период времени, срок  
**Шуйляо** – пойло для скота  
**Юйван синвэй** – идиотский поступок  
**Юэши** – затмение Луны  
**Яндяньфын** – эпилепсия

Другие слова и выражения

**«Чжуд Ши»** – древний трактат по тибетской медицине  
**Скран, римс, гланг-тхабс, рмен-бу** – тибетские названия болезней  
**Рипс** – международное ругательство, появившееся в устной речи евроазиатов после Оклахомской ядерной катастрофы 2028 года. Происходит от фамилии сержанта морской пехоты США Джонатана Рипса, самовольно оставшегося в зоне радиоактивного поражения и в течение 25 дней ведущего подробный радиорепортаж о состоянии своего облученного, умирающего тела  
**SOLIDный** – склонный к изменению  
**ОВО** – сексуальные особенности  
**L-гармония** – степень равновесия полей Шнайдера у организмов и веществ  
**LM** – показатель психопротеизма Джадда  
**M-баланс** – психологическая устойчивость  
**BORO-IN-OUT** – половой акт без релаксатора в STAROSEXе  
**Rapid** – человек, склонный к мультисексу  
**GERO-KUNST** – направление в современном искусстве, использующее вибропрепараты реактивного действия  
**PSY-GRO** – паранойя  
**V-2** – показатель женственности Вейде  
**END-ШУНЬЯ** – психосоматический вакуум  
**BORBOLIDE** – биомеханическая стабильность  
**ADAR** – приверженец биоэнергетической независимости Кольцова  
**KLOP** – потребитель остаточных биоэнергий  
**АЭРОСЕКС, STAROSEX, ESSENSEX, 3 плюс Каролина** – разновидности мультисекса  
**W-амбиции** – способность преодоления END-ШУНЬИ  
**Radis-романтик** – последователь философии Жидкого Тела боливийского философа и псимувера Антуана Радиса, популярной в начале 40-ых  
**Двинуть в LOB, спросить в LOB** – совершить акт dis-вопроса, способный нарушить M-баланс  
**DOG-адаваться** – увидеть плюс-позитные поля фиолетового спектра  
**Stolz-6** – наследственная LM-устойчивость  
**SMEяться** – позволять интерферировать своим бордовым и желтым плюс-полям

Привет, mon petit.

Тяжелый мальчик мой, нежная сволочь, божественный и мерзкий топ-директ. Вспоминать тебя – адское дело, рипс лаовай, это *тяжело* в прямом смысле слова.

И опасно: для снов, для L-гармонии, для протоплазмы, для скандхи, для моего V 2.

Еще в Сиднее, когда садился в траффик, начал *вспоминать*. Твои ребра, светящиеся сквозь кожу, твоё родимое пятно «монах», твоё безвкусное tatoo-про, твои серые волосы, твои *тайные* цзинци, твой грязный шепот; поцелуй меня в ЗВЕЗДЫ.

Но нет.

Это не воспоминание. Это мой временный, творожистый brain-юэши, плюс твой гнойный минус-позит.

Это старая кровь, которая плещет во мне. Моя мутная Хэй Лун Цзян, на илистом берегу которой ты гадишь и мочишься.

Да. Несмотря на врожденный Stolz 6, твоему ДРУГУ тяжело без тебя. Без локтей, гаовань, колец. Без финального крика и заячьего писка:

во ай ни!

Рипс, я высушу тебя. Когда-нибудь? ОК. Топ-директ.

Писать письма в наше время – страшное занятие. Но ты знаком с условиями. Здесь запрещены все средства связи, кроме голубиной почты. Мелькают пакеты в зеленой W-бумаге. Их запечатывают *сургучом*. Хорошее слово, рипс нимада?

АЭРОСАНИ – тоже неплохое, На них меня жевали шесть часов от Ачинска. Этот дизель ревел как твой клон-файтер. Мы неслись по *очень белому снегу*.

«Восток-Сибирь большая», – как говорит Фань Мо.

И здесь все по-прежнему, как в V или XX веке. Восточные сибиряки говорят на старом русском с примесью китайского, но больше любят молчать или смеяться. Много якутов.

Из Ачинска выехали на рассвете. Аэросани вел молчаливый «белый жетон», зато штурман-якут в форме мичмана хохотал всю дорогу, как наш фокусник Лао. Типичный представитель своего бодрого, L-гармоничного народа. Якуты здесь предпочитают мягкие зубы, одеваются в живородящую ткань китайского производства и активно пробируют мультисекс: 3 плюс Каролина, STAROSEX и ESSENSEX.

Рипс-рипс, *путе* – шественник!

За шесть часов от этого куайхожэнь я узнал, что:

1. Любимое блюдо якутов – оленина в вороньем соку (из живой вороны среднего размера выжимается сок, в который кладут оленью вырезку, немного морской соли, ягеля, и все тушится в котле до плюс-директа. Пробируем через 7 месяцев?).
2. Любимая секс-поза якутов – на четырех точках опоры.
3. Любимый сенсор-фильм – «Сон в красном тереме» (с Фэй Та, помнишь ее фиолетовый халат и *запах*, когда она входит с улиткой на руке и ворохом мокрых кувшинок?).

---

**Т-вибрации** – поступательные вибрации красных плюс-полей Тома-шевича

**Соплвить отношения** – вступать в сердечный контакт

**Тюрить мокрые отношения** – вступать в генитальный контакт

**Творить сухие отношения** – вступать в анальный контакт

**Раскрасить носорога** – совершить промах, оплошать

**Прессовать вымя** – поддерживать L-дисгармоничный разговор

**Тип-тирип-по трейсу** – удачное стечение обстоятельств

**Маннованно** – сужение сосудов головного мозга

**Obo-robo** – постоянная угроза нарушения M-баланса

**Gusanos** – краевые наложения плюс-полей

**Фарш** – вынужденное L-усилие

4. Любимый анекдот (старый, как вечная мерзлота): обустройство туалета в Якутии. Две палки – одна замерзшее „„ от ануса отковыривать, другая – от волков отбиваться. Топ-директный юмор. А?

Хотя, когда я после шести часов вылезал из сиденья, мне было не до смеха.

ПРОСТАТА. Фиолетовый контур в глазах. Минус-позит. Бад-кан сер-по. Творожистое настроение.

Только ты поймешь меня, гадкий лянмяньпай.

Место моего семимесячного пребывания весьма странное. GENLABI-18 спрятана между двух громадных сопок, напоминающих ягодицы.

Во всем намек, рипс нимада та бень.

Сопки покрыты редколесьем: лиственницы, елки. Меня встретил полковник – квадратный, L-невменяемый мачо с мутным взглядом и директ-вопросом: КАК ДОЕХАЛИ? Ответил честно: минус-робо. Этот пень тань ша гуа был разочарован. Когда спустились в бункер, я совсем потерял чувство времени: GENLABI-18 размещена в бывшем КП ПВО. Глубокое заложение. Армированный бетон эпохи совкома. Полвека назад здесь днем нажимали на кнопки, а ночами мастурбировали советские ракетчики.

Счастливые: у них хотя бы были объекты мастурбации – TV и CD.

Здесь же нет даже сенсор-радио. Verbotten: весь медиальный плюс-гемайн. Вся аппаратура на сверхпроводниках третьего поколения. Которые? Да. Не оставляют S-трэшей в магнитных полях.

Соответственно – не фиксируемы ничем,

Ну и: температура в аппаратной –28°C. Не плохо, рипс лаовой? Там работают в *костюматорах* .

Счастье, что я не оператор и не генетик. Плюс-плюс-счастье, что доехал мой чемодан с «Чжуд-ши», а значит – с моей L-гармонией.

Надеюсь, все будет лин жэнь маньи-ди, и я за эти семь месяцев не превращусь в крота-альбиноса с *розовой* простатой.

And so, нежная сволочь моя, пошел обратный отсчет времени. 7 месяцев в компании. 32 «белых жетона», 1 полковник, 3 лейтенанта-оператора, 4 генетика, 2 медика, 1 термодинамик. Плюс нежноизвестный тебе логостимулятор. И это в с е на 600 верст. Таков наш дахуй, как говорят за Великой Китайской Стеной.

Погода: –12°C, ветер с левой сопки. Какие-то белые птицы на лиственнице. Рябчики? Бывают белые рябчики, поросенок? А ргрос, ты совсем равнодушен к Природе. Что в принципе не правильно. И минус-активно.

Пожелай мне не створожиться здесь от тоски, обо-гово и мороза.

Сегодня на ночь – прижигание *по-старому* , плюс жир ящерицы да-бйид. Масло ба-сам доехало, слава Космосу. «Пять хороших» тоже целы. Вспомнил; «Жажда, совокупление, бессонница, хождение, сидение, переживания – все, что может вызвать волнение мочи, запрещается». Жаль, ночью некому будет подержать кувшин.

Посмотрим, что здесь едят. Bear's hug, мой узкобедрый ханкун мудень. Целую тебя в ЗВЕЗДЫ.

**Boris.**

**4 января.**

Нинь хао, сухой мотылек.

Гнилые сутки форберайтена миновали. Устал просить и командовать. Несмотря на то, что почти все «белые жетоны» – сверхсрочники, у них вместо мозга протеиновая пульпа для инкубаций.

Вчера на рассвете приползла гора аппаратуры. Слава Космосу, моя часть встала не в аппаратной, а в В-гидропоник. Не надо будет переодеваться и потеть. В общем – все

начинается, рипс нимада. Твой теплый Bogis неплохо устроился в этой бетонной чжи-чан. Моя *каюта* во втором конце. Так что стон биотеплиц не доносится. Это минус-директный звук, всегда раздражавший меня во всех *командировках* .

Познакомился со всеми. Генетики: Бочвар – краснощекий словообильный русак с дюжиной мармолоновых пластин вокруг губ, Витте – серый немец, Карпенкофф Марта – корпулентная дама с прошлым ТЕО-амазонки, любит: клон-лошадей, old-gero-techno, аэрослалом и разговоры о М-балансе. Фань Фэй – бодрый шанхаец твоего возраста. Блестяще говорит на старом и новом русском. Видно, что большой чжуаньмыньцзя в генинге хорошо ходит (коэффициент L-гармонии походки более 60 единиц по шкале Шнайдера). С ним говорили о засилии китайских блокбастеров. Ему плевать на тудин, конечно.

Медики: Андрей Романович, Наталья Бок. Белые клон-крысы из вонючего GENMEO. Общаться с ними – тяжелый *фарш* . Зато термодинамик Агвидор Харитон – симпатичный, плюс-директный шаонянь. Он потомок академика Харитона, который делал для Сталина H-bomb. В наш бетонный анус его занесла не жажда денег (как твоего *мягкого* друга), а SEX-БЭНХУЙ: он, solidный мультисексер со стажем, расстался с двумя своими нежными поршнями и с горя напросился в *командировку* .

Кто в этой дыре *зарядит* его дуплетом? Не свержсрочники же, рипс лаовай. Сам любит: полуспортивные флаеры пятого поколения, Гималаи, пожилых мужчин-математиков, вишневые сигары и шахматы. Сыграем вечером.

Все военные, включая операторов, – тотально неинтересны. Жилистые амплифаеры. Они пользуют старый русмат, который я не перевариваю даже под северным соусом.

И!

О г. Полковнике – инф. по умолчан. – как шутил мой пок. папаша.

Это весь шаншуйхуа – спросишь ты? И я кивну, рипс нимада.

Вот мы и дождались с тобой, *козленок* в шоколаде. Ты все пугал меня: «Mit meinem BOVO muss ich scheiden».

Тебе, как *нежной* сволочи, будет легче пережить это. Достаточно любой хорошо вымытой руке коснуться твоих плавников, – топ-директ, хуайдань, плюс-позит, сяотоу! Рука дающего вана не оскудеет, а твоя перламутровая сперма протея не загустеет.

К сожалению, я устроен по-другому и моя LM не расположена к протеизму.

Я целокупен.

И горжусь этим, рипс.

Поэтому, как и тогда в Барселоне, я сохраню тебе чжун-ши посредством смещения М-баланса и сохранения моей божественной L-гармонии. Уверен, «Чжуд-ши» поможет by Kosmos blessing.

Молись за меня по-русски. А rgoros – передо мной лежит «Чжуд-ши», раскрытая на твоей *нелюбимой* главе 18.

НИРУХА, КОТОРАЯ ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ ПЯТИ НАЗНАЧЕНИЙ:

«Когда в нижней части тела застрял обломок оружия, сохнет кал, гланг-тхабс, жар низа тела, задержка мочи, вздутие живота, глисты, скран свежий и застарелый римс».

Обломок твоего *сочного* оружия, подонок, застрял у меня в чакре Сердца. А об этой болезни нет ничего даже в «Чжуд-ши». И не смейся, чуньжэнь, над «Узнаванием болезней по зеркалу мочи». Я старше и умнее тебя, и повторю тебе 77 раз: твое любимое кровопускание – не панацея от всех болезней.

Вспомни великого Вернадского: L-гармония не связана с чистотой крови. Твои квазимедитации с Иваном и последующее совместное кровопускание – полное хушобадао.

Минус-директ этого *дикаря* – два плюс-наших-плюс-директа. Я не боюсь твоего тибетского ножа для кровопускания в форме хвоста ласточки, но мне жалко твою юную кровь, беспричинно утекающую в землю. Лучше мои губы будут отсасывать ее.

И вообще – хватит о телесном. Это наша разница в возрасте скрипит в моих биофилологических суставах.

Ты счастлив – у тебя в запасе есть целых 12 лет. Как это много, рипс нимада!

Пишу без зависти.

За три года нашей *аферы* ты успел заметить, что, несмотря на *гнойный* характер, я сохранил детскую способность искренне радоваться за близких мне людей.

А ближе тебя, ша гуа, у меня только мое бледное тело с перманентно пылающей простатой.

Но хватит о бэйцанди. Пора о приятном: фудпровайдинг здесь топ-директ. То есть просто – ни ха та бень. И очень *лаконичный* повар, не гарнизонный, хоть и в форме сержанта.

Оцени, пивючка моя, МЕНЮ на сегодня:

### **Fruhstuck**

Кленовый сок

Поридж-ламинария

Овечье масло

Овсяный хлеб

Кофе N

Кофе TW

Зеленый чай

### **Lunch**

Ржаные гренки с козлиным мозгом

Салат из луговых трав

Куриный пресс-бульон

Филе нутрии с молодым бамбуком

Фрукты

Ежевичный blub

### **Трапеза**

Кумыс

Ван тан суп

Ватрушка со пашеном

### **Повечерие**

Березовая пульпа с мамалыгой

Сбитень имбирный

Родниковая вода

Коэффициент L-гармонии такого меню – 52-58 единиц по шкале Геращенко. Not bad, правда? А вчера на lunch подали клон-индейку под красными муравьями, что вызвало у меня приступ *фиолетовой* ностальгии.

Помнишь банкет в ASIA-центре по случаю split-фальжирования макросом ХЭТАО весеннего плюс-ин-кома?

Ты был тогда в минус-директе из-за этого лао бай син Злотникофф, поэтому наверняка ничего не помнишь, кроме его платиновых волос и жирных ружищ, которыми он тискал тебя возле обелиска.

А я в тот *гнилой* вечер целиком отдался гастрономии,

Общеизвестно, что повара в ХЭТАО – не бумажные тигры и не девушки, рисующие цветы цзы-динсянхуа рогом буйвола на поверхности озера Чжан.



Твари неохотно покидают стальные клетки. Неделин вытаскивает их щипцами и метает в небо. Они раскрывают жилистые крылья и несутся в Абакан.

Карпенкофф провожает их прицельным взглядом ех-амазонки. Неделин гремит пустыми клетками, сморкается в снег.

Послезавтра привезут *объекты* .

У меня готово все, кроме *провокаций* .

Придется поторчать в реактивной. Биофилология – модная, но кропотливая наука. Правда, дельфин? Жму тебя.

**Boris.**

**5 января.**

И все-таки ты хуайдань, нимада.

Пытаюсь забыть твоё *липкое* свинство с Киром и Дэйзи, и не могу. Даже здесь, в этой мерзлой **О** .

Теперь я понимаю *почему* ты так долго просил прощения, молил не наказывать тебя через BORO-IN-OUT.

Не потому, что ты *garid* по рождению, *полтинник* по L-гармонии и *сахарная свинья* по карме.

Своими слезами, поклонами и целованием стола ты пластилинил более тяжкий грех. Более *потную* связь.

Кир – простой ша гуа, без намека на L-гармонию, воткнувший свой тонкий цзуанькунцы в модное GERO-KUNST. Дэйзи – дао бай син, попавшая из Пскова в питерскую ART-мей чуань. Она не в состоянии поддержать элементарный таньхуа и, как Ребесса из твоего любимого сериала, способна лишь повторять конец фразы собеседника, прикрывая гебефреническим хохотом свою глупость.

Кир держит ее за то, что она дает ему между *мышцами* , это знает даже Попофф.

Ты стал *сопливить* отношения с этой мизальянской и минус-позитной парой из-за своих ложных W-амбиций, а я, наивный благородный ван, не догадался *зачем* .

Тебе понадобились жалкие Кир и Дэйзи, как бумажная ширма, за которой ты отдавался свинцовому *натуралу* с Наташей.

С этой гнусной минус-активной сколопендрой. Она оплетала тебя своими бледно-венозными ногами, шепча: *во ай ни* , а ты вспарывал ее *подзасохшее* своим пестом. Вы делали **ЭТО натурально** , как деды и отцы.

И ты гордился своей M-смелостью, узкий подонок: «Я пробирую *natural!*!»

Фальшивая мерзость, достойная скуннеров и диггеров.

Бэйбиди сяотоу, кэйчиди лянмяньпай, чоуди сяочжу, кэбиди хуайдань, рипс нимада та бень!

И это все, что я прорычу

в Твое позолоченное ухо,

липкий подонок.

**Boris.**

**6 января.**

Нинь хао, прелесть моя.

Сегодня чудесная погода и много событий.

Первое: моя простата на *время* успокоилась. После? 16 прижигании, нирухи и втирания жира ящерицы да-бйид.

Второе: нашему полковнику никто не пишет. Шутка.

Здесь никому не пишут. TS 332. Письма летят только н одну сторону.

И!

Третье: привезли объекты.

Это достойно подробного описания. Я сидел в реактивной, сканировал вчерашний посев.

Вошел громкий Бочвар: ВЕЗУТ!

Оделись, вылезли наверх. Там уже торчал весь наш бело-жетонный *гарнизон* .

Огибая левую сопку, допотопный снегоход тащил белый living-сяочэ, которые использовались китайцами во время Трехдневной войны в Монголии.

Подъехали.

Из снегохода вылез капитан чего-то (кажется, СПВ), доложил полковнику. Открыли living-сяочэ, стали выводить объекты. Ты знаешь, я *хладнокровная* ящерица, но РК видел впервые.

Поэтому?

Был неадекватно *любопытен*.

Объектов семь: Толстой-4, Чехов-3, Набоков-7, Пастернак-1, Достоевский-2, Ахматова-2 и Платонов-3.

Несмотря на жару внутри living-сяочэ, все РК были в скафандрах с ошейниками и с tub-сапогом на правой ноге. Спустили трап, стали принимать их. Шли спокойно. Разместили их профессионально. Семь камер, обитых натуральным войлоком: 3x3x3.

Подробнее: Толстой-4.

Четвертый reconstruct Льва Николаевича Толстого. Инкубирован в Красноярском GWJ.

Первые три не совсем удались: не более 42% соответствия. Толстой-4 – 73%. Это мужчина, ростом 112 см, при весе 62 кг. Его голова и кисти рук непропорционально большие и составляют половину веса тела. Кисти рук массивные, как у орангутанга, белые, складчатые; ноготь мизинца размером с монету в пять юаней. Крупное яблоко исчезает в кулаке Толстого-4 бесследно. Его голова в три раза больше моей; нос в пол-лица, неровный, бугристый; брови, поросшие густыми толстыми волосами, маленькие слезящиеся глаза, огромные уши и тяжелая белая борода до колен, волосы которой напоминают амазонских водяных червей.

Объект спокоен, нем, как и остальные шесть. Любит шумно втягивать воздух ноздрями и тяжело выдыхать. Иногда подносит оба кулака к лицу, медленно раскрывает их и долго смотрит на свои ладони. На вид ему лет 60. Его вырастили за 3 года и 8 месяцев. В камере у него прозрачный стол в стиле позднего конструктивизма (Гамбург, 1929), бамбуковое кресло (Камбоджа, 1996), кровать с гелиевым наполнителем (Лондон, 2026). Освещение – три керосиновые лампы (Самара, 1940). Егеген-объект – чучело пантеры-альбиноса. Вот так, рипс лаовай.

Дальше: Ахматова-2.

Второй РК Анны Андреевны Ахматовой.

Инкубирована в ГЕНРОСМОБе. Первая попытка – 51% соответствия, вторая – 88%.

Объект внешне полностью соответствует оригиналу возраста 23 года. Выращен за 1 год 11 месяцев. Сильная патология внутренних органов: практически все смещены и недоразвиты. Сердце искусственное, печень свиная. М-баланс 28. Поведение беспокойное, автоматизм, PSY-GRO, яндяньфын. Издает частые гортанные звуки, нюхает правое плечо и предметы. В камере: лежанка эбонитовая (Южная Африка, 1900), светящийся шар свободного парения. Егеген-объект – кости неандертальца мужского пола, залитые жидким стеклом.

Я не слишком сухо излагаю, мой золотоухий ханкун мудень? Читай. Ты же GERO-KUNSTLER, рипс чоуди сяочжу!

Набоков-7.

С ним наши ген-мошущзя провозились 8 лет. Первый РК появился в подземной MUBE, еще когда я жил с сиамскими близнецами и не знал твоих прелестей. Судя по записи академика Макаревича, отторжение доходило до 80%, объект был аморфным и содержался в барокамере. Набокова-5 инкубировали (sic!) в день подписания Мюнхенской конвенции о запрещении РК и клонирования F-типа. Проект был заморожен, объект умерщвлен. Но уже через полгода Набокова-6 инкубировали (тайно от IGКС) в воронежском ВИНГЕНИЖе. Было много проблем. Но вот – Набоков-7. 89% соответствия. Фантастик, рипс та бень! Самый высокий уровень из всех семи. Хотя внешне это не заметно: объект похож на полноватую женщину с кудрявыми рыжими волосами. Все мышцы его мелко вибрируют, что создает вокруг тела объекта еле заметный контур. Пот струится по телу и хлюпает в переполненных ботинках. Мебель: стол кухонный (СССР, 1972), стул круглый на винтовой штанге (Бухарест, 1920), кровать солдатская походная (us army, 1945). Освещение: четыре источника зеленого света произвольного размещения. Erregen-объект – женская норковая шуба, покрытая пчелиным медом и подвешенная под потолком на золотом крюке.

Пастернак-1.

«Первый РК-блин – и не комом!» – прямолинейно пошутил наш немец. Пастернака-1 инкубировал Вездесущий и Бессмертный Алоиз Ванеев. Соответствие – 79%. Самое зооморфное создание из всех семи. Сходство с лемуром поразительное: маленькая голова, покрытая белым пухом, крошечное сморщенное лицо с огромными розовыми глазами, длинные, до колен, руки, маленькие ноги. Он раскачивается и издает носом трубные звуки. В соответствии с LOGO-корреляцией, мебель в его боксе отсутствует. Зато 64 интенсивных источника света и живой erregen-объект: шестидесятикилограммовый персидский клон-кот. Умирующий? От ожирения, *mon petit*.

Достоевский-2.

Особь неопределенного пола, среднего роста, с патологией грудной клетки (выпирает вперед килем) и лица (височная кость срослась с носовой в форме ручки пилы). Его войлочная *кубатура* освещена софитом. Erregen-объект – шкатулка из яшмы, наполненная алмазным песком.

Платонов-3.

Настоящее произведение ген-искусства из Санкт-Петербурга. Помнишь, сладкий *поршень* мой, йога, описанного Гурджиевым, который двадцать лет простоял на кончиках пальцев рук и ног во дворе буддийского монастыря и которого монахи раз в месяц выносили на реку и обмывали, как скамью или стол? Платонов-3 – тот самый стол из человеческой плоти. Его тяжелые кости обтянуты желтой кожей, плоское лицо неотрывно смотрит вниз, огромный белый член болтается между ног. Для Платонова-3 – буковый кабинет (Париж, 1880), хрустальная люстра (Брно, 1914), erregen-объект – лед в деревянном ящике, обитом ватой.

И.

Наконец – Чехов-3,

Очень похож. Даже – гаофэнь, рипс нимада. Хотя соответствие – всего 76%. Один дефект – отсутствие желудка. Ну, да это – сяоши, как говорит дядюшка Мо.

Все объекты – на биосе, так что с едой и дефекацией проблем нет. В общем – все пока чантайди.

Хотя зачем я это пишу тебе, потной гниде, с таким плюс-директом предающей *близких*?

Способен ли ты *понять* простой и dis-активный баофа тела моего? Понимаешь ли ты, как мыслящая монада, что ближе ТЕБЯ у моего тела нет НИКОГО?

**Boris.**

**7 января.**

Вчера ночью начался *буран* .

Это сильный ветер со снегом, Спутал нам все фа: TFG не подвезли. И все встало. Так всегда у военных – главное оставляют на десерт. Русский *авось* плюс буфуцзэ сянсьян. Ждем погоды и пьем с утра.

Ты спросишь: «Рипс нимада, а как же два наших договора, подписанные коньяком и спермой?»

Ангел мой гнилосоердый, свой договор ты нарушил первым (со Злотникофф), когда твоя сперма еще не просохла на рисовой бумаге. Уверен на 99%, что в мое отсутствие помимо мультисекса ты продолжаешь пробировать *natural* с персонами, гнусная и L-дисгармоничная плоть которых не годится даже на пресс-food для клон-голубей ефрейтора Неделина.

Поэтому.

Войдя сегодня утром в *solarium*, я с чистой совестью принял первую дозу моей любимой водки «Катя Бобринская». (Коньяка здесь нет.)

Наш *solarium*, или – *сочилово* – на жаргоне «белых жетонов», большая по масштабам бункера комната, оклеенная живородящей текстурой и гиперактивно подсвеченная сверху. Посередине – стойка бара (весьма пиньфади по содержанию), водяные тумбы, шахматный стол (заказанный мною) и два сенсор-кресла, естественно, со снятым оборудованием. В нормальном *месте* подобного рода после 50 мл «Катеньки» меня потянуло бы в сенсор-кресло.

Для начала я бы *вклеил* что-нибудь веселое.

Например, микс-римейк «Огни большого города – Терминатор». (Помнишь, как Шварценеггер гонится за Чарли Чаплиным по сабвею?) После третьей дозы меня двинуло бы на китайщину от Шаолиньпродакшен – «Дыхание Красного Дракона» или «Речные заводи». Ну а после 500 мл – СВЯТОЕ РЕТРО: «Farewell, Moranbong!»

Рипс, после *половины* литра я не могу видеть без слез руки Сюзи Бланк – и это *fatum*.

Помнишь, когда она бинтует крыло Владимиру своей сорочкой, а он закрывает глаза и спрашивает: «Тебе приходилось спать в небе?» – «В небе? – переспрашивает она, – Как это?»

И сразу – кровь сквозь сорочку! плюс прибой! плюс морская пена на скалах! плюс мурены вокруг трупа Рональда! плюс ветер в волосах! плюс запах сожженного гнезда – и как только понесет песок и скрипнет на зубах песчинка – так у меня и потекло.

И я плачу до самой ее реинкарнации.

Вот загадка для столь несентиментального человека, как я.

Но здесь, в GENLABI-18 плакать пока нет повода.

Не успел повторить «Катеньки», как дверь булькнула, вошли двое: Бочвар и Карпенкофф.

– Рипс, а говорят, что биофилы только нюхают, жмут и трут! – засмеялся Бочвар.

– К сожалению, пьют тоже, – выпил я. Он зашел за стойку и загремел бутылками.

– Господин Глогер, чем вы боретесь с бураном? – спросила Карпенкофф, глядя на мой пустой кубик.

– Водкой «Катя Бобринская», – ответил я, лишний раз убедившись в тяжелом V2 этой самки.

– «Катя Бобринская»? – переспросила она с угрюмым минус-директом, словно вспомнив сразу всю свою *мутную жизнь* . – А что это?

– Марта, это хорошая ржаная водка, – опередил меня Бочвар. – Эйс-позит.

– Тогда налейте мне, – Карпенкофф опустила свой ванвэй на тумбу.

– Не ищите бутылку, – предупредил я Бочвара. – Здесь только кубики.

– Нас тут ждали с водяным говнорезом! – захохотал Бочвар. – Северная поебония с ледяной плюс-пиздищей плюс *хуесcroll* !

– Я прошу не употреблять русмат в моем присутствии, – сканировал я его.

– Вы даньхуан? – спросил он.

– Я даньхуан, – ответил я.

– Цзюцзин нинь шэмма шихоу нэн чжуньбэйхао ни? – обнажил свои перламутровые зубы Бочвар.

– Цюй нянь синцижи сяюй ши, – закурил я.

– Олени, поберегите рога, – Карпенкофф поймала кубик, пущенный ей по стойке Бочваром. – На меня этот буран действует как END-ШУНЬЯ. Каменная голова плюс каменная вагина плюс каменный анус. Вы впервые на *таком* Севере, Борис?

– Да, – ответил я, садясь за шахматы.

– Я *вижу*, – она поднесла кубик к оранжевым губам, – Белый Север не даст вам створожиться. У меня это четвертый плюс-ком. Каждый раз я теряю до 6 пунктов М-баланса, но все равно приобретаю приличное BORBOLIDE. Север учит нас, фиолетовых клопов.

– Лишь бы военные не раскрасили носорога, рипс нимада та бень, – Бочвар налил себе в стакан Chivas Regal и стал щедро совать лед. – Я готов потерять 20 единиц L-гармонии, только бы уложиться в график. Если они все так провайдят, как TFG – тогда без *рессор* не обойтись. Еще месяц здесь месить воздух – Фубайди шици!

– Наши военные не раскрасят носорога, Леонид, – сосредоточенно выдохнула Карпенкофф после выпитой водки. – «Белые жетоны» – не каблуки. И даже не МПИ. У них *solidный status*. Меня больше беспокоит наш Агвидор.

– Харитон? – отпил из гремящего стакана Бочвар. – Да, – Карпенкофф вытянула из наплечника узкий портсигар, достала папиросу – Не знаю, может я – парникубель, но его манипуляции с батареями весьма сомнительны. Ретро-плюс какой-то. Бочвар засмеялся.

– Вы маракуете в термодинамике? – спросил я.

– Не надо быть ген-титаном, чтобы *знать* зависимость *dis-скачков* от порога энтропии. Я не вчера покинула вагину и это моя не первая *командировка*. Харитон помешан на практике фон Штайна, от которой почти все отказались. С Арцимовичем и Мамеляном я работала директней.

– В Угре? – спросил я, расставляя шахматные фигуры. – S-пластилин проект?

– Уер, – закурила она.

– Сравнить S-пластилин и ГС-3 некорректно, – я сделал ход е4.

– S-пластилин! – засмеялся Бочвар. – Марта, вы блефуете! S-пластилин! Витя Борцони делал для них *in-out*. Там все было как в *саванне*. Все сразу получилось, я видел пульпу Это топ-директ, рипс. Его тело весило четыре тонны, кожа вулканизировалась прямо на глазах. Но, Марта, сравнивать эти проекты... – он тряхнул головой так, что звякнули его надбровные полумесяцы. – Ваши Арцимович с Мамеляном простые *штукари* по сравнению со всеми нами.

– Мне плевать на бант, я отвечаю за совместимость. Это вам и Витте придется жевать стекло. У вашего гениального Агвидора будет очень средний *разброс*. Я это *вижу*. Будет *средняя* вонь, – Карпенкофф подошла к стене, выпустила дым на текстуру. Ворсинки жадно зашевелились.

– Марта, не прессуйте вымя, – зевнул Бочвар. – Basta. Мы все хотим денег. И комфортной *обратной* дороги Правда, Борис?

Я кивнул.

– Борис не из разговорчивых, – Карпенкофф подошла ко мне, покачиваясь на котурнах.

– И горжусь этим, – буркнул я, разыгрывая испанскую партию.

– Ненавижу зиму, – Бочвар сел на стойку. – Хуже зимы только музыка 137. Еще «Кати»? Я кивнул. Он метнул мне кубик.

Не мой напиток, – потушила папиросу Карпенкофф. – Дубовый аквавит есть?

– Конечно! – Бочвар быстро нашел, открыл, налил.

– Другое дело. Цзодэ хэнь ягуаньди, – глотнула она. Вошел полковник.

– Самое *красное* занятие! – усмехнулся он.

– Присоединяйтесь к нам, Serge, – приветливо качнулась Карпенкофф. – Анжей сегодня виночерпий. Что вы пьете в буран?

– Все равно, – расслабился полковник. – Только не пиво и вино.  
– Доверьтесь мне, – она показала ему стакан с дубовым аквавитом. – Это бетонный щит против буранов.  
– Как говорил Мао: когда дуют северные ветры, надо строить не щиты, а ветряные мельницы! – прохрюкал Бочвар, наливая полковнику.  
– Рипс, тут легче взорвать, чем построить, – расстегнул ошейник полковник. – Сибирь! Штурмеры свиньи. Не могли поиметь правильный форберайтен, задроебы. Весь провайдинг скользит.  
– А я ужее хочууу домооой! – пропел тенором Бочвар.  
– Кто с объектами? – спросил я полковника.  
– лейтенант Петерсон, – полковник выпил и посмотрел на меня выцветшими глазами. – Буран их возбуждает. Толстого-4 вырвало желчью, Пастернак-1 бился головой об стену.  
– Рипс! – я встал. – Когда это случилось?  
– Отдыхайте, Глогер, – полковник положил мне на плечо свою маленькую, но крепкую руку. – Там все уже пинъаньди. Петерсон опытный мед. Вообще, все пока тип-тирип-по трейсу.  
Он постучал пальцем по своему широкому подбородку.  
– Все, кроме ваших TFG, – вставил я, переходя в эндшпиль.  
– Почему *наших* ? – усмехнулся полковник. – Мы все здесь в одном *гробу* .  
– TFG – ваша *практика* . Serge, – Карпенкофф подошла к нему сзади, сложила ладони малым кольцом над его седым затылком. – Уууу, как у вас много *gusanos*. Вы *золотарь* ?  
– Я *бабочка* , – улыбнулся он.  
– Правильно, вы не *золотарь* , – продолжала сканировать она. – Вы старый добрый ADAR. Правда?  
– Это видно и без кольца, – полковник достал табакерку и быстро понюхал. – Марта, рипс, вы не Сандра Джадд. Вам необходимо *поиметь* .  
– Я имею, – она сбросила след и поцеловала его в затылок.  
– Анаконда, рипс уебох! – вздрогнул полковник. – Жаль, что в *командировках* женщины не заводят KLOPOV!  
Все засмеялись, и я тоже.  
«Катя Бобринская» способствует восприятию коллек-юмора. Вошел Харитон в заиндевавшем костюматоре:  
– Хромо-dis не в семи.  
– Сколько? – поставил стакан Бочвар.  
– 30 на 6, 32 на 4. Генетики зашевелились.  
– Это все из-за бурана, – вышел первым Бочвар.  
– Агвидор большой мастер по замораживанию чужих *отцов* , – глядя в глаза полковнику, произнесла Карпенкофф. – Я всегда верила в *goss-термодинамик*.  
Она вышла.  
– Двинем *раскрасить* , – застегнул ошейник полковник. – Борис, в два я жду ваших трэйсов.  
– Fertig, рипс нимада, – пробурчал я. Полковник скрылся за дверью.  
– Рипс чоуди шици! – Харитон содрал с себя костюматор, подошел к стойке бара. – Все на соплях. Все, все на сиреневых соплях.  
– Россия, – заматовал я себя в три хода. – Сыграем?  
– Гной и мед в этой стране – близнецы братья. Иван Вишневский прав, – он сел напротив, стал расставлять фигуры.  
– Это в вас говорит еврей, – я зажал белую и черную пешки в кулаках. – Вишневский написал много топ-директа в Москве и Бохуме. Но цитировать его в Восточной Сибири – *obtoston*. Сверление воздуха.  
– Я сверлю всю жизнь *себя* , – он шлепнул по кулаку с черной пешкой. – Fine. Люблю играть от обороны... рипс, а что здесь пили? – он понюхал воздух.

- Водку и дубовый аквавит, – я снова пошел е4.
- Тоо much, – он ответил не задумываясь е5. – Кукурузное пиво есть? «Astor»?
- Я не бармен (f4).
- Рипс, я же не прошу вас налить (ef).
- Вы только спрашиваете (Kf3)?
- Я только спрашиваю (d6).
- Пиво – не мой напиток (d4).
- Вы – типичный пятидесятник (g5).
- И горжусь этим (Cc4).
- Плюс-директ. Но пить я ничего не буду (g4).
- Это ваша POROLAMA (C:f4).
- Рипс лаовой нимада (gf).
- «На белом ехегон плюс тип-тирип-по трейсу» (Ф:f3).
- Вы любите этот сенсор-фильм? Этот *соплевун* ? (Kf6).
- Не нарушайте моей L-гармонии (Kc3).
- У вас врожденный midirex (Cg7)?
- У меня врожденный шен-шен (0-0).
- О чем вы говорили с полковником (0-0)?
- О его полях (Cg5).
- Рипс, у него *есть* поля (Kbd7)?
- Не считайте его клон-штангистом (Kd5).
- Ни в коем случае. Это madam Карпенкофф – клон-штангистка (h6).
- Она давит крыс по вашему поводу (C:f6).
- Я не рикша для генетиков (K:f6).
- Как ех-амазонке ей нужны гарантии (K:f6).
- Каждый сосет свое масло (C:f6).
- Она трескается из-за батарей (Ф:Г6).
- Батареи – мой цайюань (Ф:Г6).
- Сомнения – ее ба (Л:f6).
- Рипс, нимада (Kpg7).
- Вы не пьете с утра. Поэтому – не в ударе (Лaf1).
- Рипс, а как я защищу f7 (Ce6)?
- Это *жирный* палиатив, как говорит наш президент (C:e6).
- Скотство (fe).
- Maybe warscheinlich (Л:e6),
- С вами играть не комфортно, – он смешал фигуры. – Вы играете как В1В 3000.
- Это комплимент?
- Вам виднее, – Харитон нашел за стойкой шар лива, открыл. – А пропос, кто сейчас чемпион мира?
- По штанге?
- Нет, по шахматам. В1В 3000?
- Уже нет, Осенью его разорвал МЭИ ЛЮ 8. 12:6.
- Эта Карпенкофф... – Харитон брезгливо тряхнул платиновыми волосами. – У меня это четвертая *командировка* . И каждый раз – минус-директ с генетиками. Я для них всегда – умный лао бай син с непредсказуемым разбросом. А что заносит ех-амазонок в Сибирь? Деньги?
- Наверно, – я нашарил еще один кубик водки. – Но может быть и не только деньги.
- А что же еще? Сухая вагина и топ-абильный анус? – засмеялся он, отсасывая пиво из шара.
- Вы слишком физиологичны, – потянулся я. – Карпенкофф – не кусок оттаявшей протопульпы. Она умная и сильная. У нее своя гибкая М-стратегия.

– Плевать, – отмахнулся Харитон. – Если она не бреется – это не дает ей право сканировать мою печень. Я не дую в ее хромо-фризер, пусть и она не сморкается в мой термотроп.

– Как говорил покойный Фридман: «Эксперимент заставит всех присесть на мрамор», – заметил я не без желчи.

– У вас *сушеный* юмор, – соскучился Харитон. – Вы наверно *тюрили* сухие отношения с негативистами. Или со стариками? У меня был один старик – такая прелесть, рипс лаовой. Хватит на всю жизнь.

– «Старики – надежда человечества», – процитировал я.

– Чей это *кал* ? – поморщился Харитон.

– Тони де Виньо. Из нобелевской речи.

– Жаль, что этот ша гуа рано умер, – он поднял с пола костюматор. – Мы бы с Карпенкофф поставили ему носорожий анус.

– У вас есть два повода: его клонировать, а с ней начать *тюрить* мокрые отношения, – выпил я.

– Да ну вас. Нагнали на меня splin, – он двинулся к двери. – Вечером натравлю на вас Витте. Он хорошо играет. Почти как этот МЭИ ЛЮ.

– He's wellcome, сяс бень.

Едва за этим «молодцом из Лян Шань Бо» хлопнула дверь, я приблизился к стойке бара, вытряхнул из сэйка ледяную пирамиду, наполнил треть картофельной водкой «Степан Разин», добавил: 20 мл «Deer blue», 20 мл тюленьего молока. 10 мл елового джина, 10 мл муравьиного спирта, бросил крупинку каменной соли, поставил на 2 минуты под желтый лазер – и – если бы ты, ядовитый мальчик мой, коснулся своими смешливыми губами этого напитка, то навсегда забыл бы имя Ричи ван дер Мууна. Salut, стервец.

## **Boris.**

P.S. А клон-голубкам буран не помеха. Эти твари пролетят сквозь все. Даже сквозь Великую китайскую стену

## **9 января.**

Началось, слава Космосу.

Погода улеглась, после ланча нам подвезли TFG. Генетики хотели начать завтра, но полковник настоял.

Я был не против. У Харитона тоже не было *соплей* .

Витте слегка поломался, но Карпенкофф сильно его не поддержала. И в 20.34 мы *запустили* .

Рипс ша гуа, я вижу тебя сидящего в твоей GERO-KUNST пещере, жующего пакистанскую саранчу и запивающего ее голландским пивом.

Что значит для тебя – мультисексера, предателя и протeya эта короткая фраза: МЫ ЗАПУСТИЛИ?

Nihil.

Я всегда завидовал твоей способности *ничему* не удивляться.

Впрочем, это зависть калеки без органа, так что она *некорректна* , рипс лаовой.

Собственно, мне тоже пока нечему удивляться. Хотя я не каждый день в ГС-командировках . К твоему гнойному сведению, в России были всего ДВЕ попытки получения ГС: ГС-1 загнал в *трещину* пень тань ша гуа Сафонов; ГС-2 три года назад бездарно засушило МИНОБО, испугавшись санкций ИКГС. В первом проекте логостимулятором был Зветан Капидич, во втором Юрий Барабановф. Оба – super-плюсваны своего дела.



## Достоевский-2 Граф Решетовский

В самом конце июля в третьем часу пополудни, в чрезвычайно дождливое и не по-летнему промозглое время, забрызганная дорожной грязью коляска с накидным верхом, запряженная парюю невзрачных лошадей, перекатила через А-в мост и остановилась на Г-ой улице возле подъезда серого дома в три этажа и все это было до чрезвычайности как это не совсем-с и про куриное слово про куриное слово совсем уж не хорошо.

Из коляски вышли два солидных господина, одетых, впрочем уже не по-летнему, да и не по-петербургски: Степан Ильич Костомаров, советник госдепартамента по особым поручениям был одет в короткий овчинный тулуп, подпоясанный дохлой, но чрезвычайно длинною змеею желто-черного окраса, члены другого – богатого наследника рано умершего генерала и посему – человека без определенных занятий Сергея Сергеевича Воскресенского были обтянуты узким пестрым шелком на манер венецианских арлекинов, дающих представления на площадях когда он имел удовольствие выказывать свое а она эта подлая *тварь* совсем уж.

Бывают иные люди, один вид которых действует на нас как-то внезапно подавляюще и умиляюще, отчего грудь сжимается и беспричинные слезы выступают на глазах и это очень жалко-с если человек предрасположен а к чему это уж сами постарайтесь понять не негодная ведь.

Такое точно впечатление на немногочисленных прохожих произвели своим появлением Костомаров и Воскресенский; двое простолюдинов, студент и пожилая дама остановились, как вкопанные в землю столбы, столбы столбы столбы-с столбы, да, верстовые столбы, и с нескрываемым волнением проводили глазами удивительную пару до самого подъезда. Трехэтажный дом этот принадлежал графу Дмитрию Александровичу Решетовскому и был одним из тех замечательных в своем роде домов, к коим по вторникам или четвергам, как пчелы к улью, да, как проворные, хлопотливые пчелки к новому, добротному обделанному улью хотя ульи имеют разную конструкцию есть колоды есть домики и борть и земляные ульи-с и так изволят тянуться тянется светская петербургская публика. Впрочем, так как была среда, визитеров встретил не швейцар в расшитой золотом ливрее, а хромой казак Мишка, верный ординарец графа, прошедший с ним всю турецкую кампанию и ставший для графа своеобразным Санчо Пансой, однако это полная катастрофа и нельзя же представить его положение и по положению вовсе не обязан быть *подноготным кавалергардом* или просто *скверным* человеком а по-русски – подлецом.

Без всякого недоумения на избитом оспой лице Мишка снял с господ их необычную одежду и захромал наверх, быстро быстро быстро быстро – доложить графу Господа же, оставшись наедине, принялись самым решительным образом ощупывать-с ощупывать-с ощупывать-с друг друга. Степан Ильич своими длинными костистыми пальцами вцепился в покатые плечи Сергея Сергеевича и, проворно как-то слишком уж проворно как-то по-вороньему проворно-с проворно-с перебирая по ним, стал спускаться ниже-с ниже-с ниже-с – по груди, животу и бедрам Воскресенского прямо к самым его ногам в щегольски отвороченных швейцарских сапогах. Воскресенский, обхвативши пухлыми руками талию Степана Ильича, принялся чрезвычайно быстро общипывать его спину мелкими, но довольно-таки чувствительными щипками, от коих кожа кожица кожица толстенная местами как у африканских буйволов-с на спине Костомарова в тот час же посинела и набухла кровью.

– Сергей Сергеевич, я настоятельно прошу вас об одной услуге, – первым нарушил тишину мертвую мертвую мертвую Костомаров, возвращаясь к прерванному разговору. – Покуда мы еще здесь и, стало быть, можем говорить без свидетелей, откровенно, я прошу вас не напоминать графу про ту скверную сквернейшую пресквернейшую историю с *этой* дамой, от коей всех нас тошнит тошнит тошнит. Я понимаю, что вы – лицо, так сказать, в

этом деле незаинтересованное, а следовательно вам все равно как это все как как как все это этот клубок отвратительный клубок как оно обернется для графа и Лидии Борисовны, но я в этом деле сильно заинтересован, а главное – заинтересован в благополучном разрешении его, без истерик и без продолжения *тоскливого скандала* .

– Да полноте-с, Степан Ильич, мне и повторять уж надоело, – отозвался Воскресенский, морщась от боли от сильной сильной боли чувствительной весьма боли. – Ежели вы до сих пор все еще считаете меня незаинтересованным в этом деле лицом – в том ваше право друга графа, но полагать, что я как это самое незаинтересованное лицо способен попросту нагадить-с да-с нагадить-с непременно нагадить-с не очень близким людям – обидно-с и даже стыдно.

– Я вовсе не имел намерений вас обидеть, – вздрогнул Костомаров, в упор в тяжелый пристальный упор основательный если не сказать навязчивый да упор упор разглядывая выбритую до синевы щеку Воскресенского. – Поймите, я друг графа не только в светском смысле не только вовсе не только, но и в сердечном в этом в этом полном смысле. И я чрезвычайно заинтересован, чтобы все обошлось и все забыли эту грязь и низость.

– Уверен, так оно и случится, – подхватил Воскресенский, понимая насколько неуправляем и даже беспощаден в своем миротворчестве Костомаров. – Со своей стороны со всей солидной прочной стороны хорошей очень хорошей и добропорядочной стороны я приложу все усилия *незаинтересованного* человека.

Вошел Мишка и пригласил их к графу в кабинет. Они молча молча молча проследовали за слугой и вскоре граф со свойственным ему искренним порывом приветствовал вошедших, устремляясь к ним от огромного, заваленного бумагами бумагами ценнейшими бумагами стола.

Граф Дмитрий Александрович Решетовский был во всех отношениях человек необыкновенный, если не сказать – странный и в этом даже необычное и странный странный странный странноватый впрочем. Покойный отец его Александр Александрович происходил хоть и из древнего, но не очень обеспеченного рода, служил в кавалерии, рано вышел в отставку, женился, обзавелся тремя тремя тремя сыновьями, продал, повинувшись новой моде, свое поместье под Псковом, переехал с семьей в Петербург Петербург Петербург, где проявил себя вдруг по коммерческой части, стал участвовать в откупках и довольно успешно, вследствие чего приобрел да-да да-да да-да три больших дома, и, сдавши выгодно их внаем, благополучно прожил до самой смерти, оставив сыновьям приличное состояние да а как же сыновья сыновья а не что а не что да-да.

Старший сын – Дмитрий Александрович, получивши от *раба* дом на Г-ой, нисколько не пошел по коммерческим стопам родителя, а скорее – наоборот словом совсем уж вовсе наоборот к всеобщему к всеобщему и *пагубнейшее неверие* , проявил к материальной стороне своего существования такое безразличие, если не сказать – презрение, что вскорости оказался вынужден заложить натурально заложить заложить да-да и не *напакостив* дом со всем имуществом со всем-с со всеми-с потрошками-с со всем-с скарбом-с и со всею фондикурою-с. Доставшиеся ему по наследству деньги употребил он на самые невероятные это просто что-то просто что-то путешествия и поездки, не оставив на земле ни одного экзотического места, куда не ступила бы его нога нога а не что-то нога обыкновенная нога в хромовом сапоге на спиртовой подошве добротнейшая *преддобротнейшая* нога искателя приключений. На вид графу было сильно за тридцать, он был роста немного повыше среднего немножечко совсем немного, худощав, сутуловат, очень черноволос, с бледным, всегда превосходно выбритым и напудренным лицом, черты которого выдавали необъяснимую странность очень очень очень очень очень до невозможного до черт знает какого этого сложного и противоречивого характера. Впрочем, глаза его-с глаза-с глаза-с очень хорошо-с хорошо-с хорошо-с глаза его – черные, огненные и чрезвычайно живые постоянно сияли каким-то неподдельным восторгом от всего происходящего вокруг.

– Господа! Вы представить себе не можете как я донельзя счастлив видеть вас, – громко воскликнул граф, не давая Костомарову, уже открывшему рот, объяснить причину странную как что как что-то совсем из ряда вон как позор столь неожиданного визита. – Представьте, я сегодня прескверно спал, то есть до того прескверно, что вставал голову мочить это что-то это что-то плохо плохо плохо, да спросонья Мишке моему по мордасам надавал, думал угораю, да оказалось не в печашах дело, а во мне самом!

Граф подхватил под руку Воскресенского отчего тот тотчас законфузился и в смущении посмотрел на Костомарова, но граф граф граф, не обращая внимания на Сергея Сергеевича, продолжал говорить с жаром, обращаясь прямо к Костомарову:

– Степан Ильич, милейший друг мой, знали бы вы что творилось в моей душе с самой бессонной ночи! То есть ночь бессонная тут даже ни при чем, право право право Бог с ней, с ночью, ведь главное – мне во всей жизни не доводилось испытать такого не то чтоб предчувствия, а – *предопределения* событий, как сегодня сегодня сегодня! Это просто *embarras de richness* всех чувств, потрясение какое-то какое-то какое-то! Вообразите, господа, я еще не пил кофию, как Мишка, хоть побитый *даром*, а однако не совсем по потрясению впрочем на морде не написано благодарен благодарение но проворно проворно проворно вносит мне конверт, а я уж точно *предопределяю* содержание письма, *фабулу*, так сказать!

Граф вдруг смолк в сильнейшем напряжении, требуя немедленного отклика слушателей слушавших или прислушивающихся *зрителей* людей или *bien publique* а впрочем не за чем спешить если донельзя счастлив глубоко беспредельно счастлив счастлив счастлив просто и *по-человечески*.

– Помилуйте, граф, а отчего же это так вдруг... – начал было Воскресенский, с трудом справляясь со смущением и отчаянно переглядываясь с Костомаровым. Но граф тотчас перебил его перебил как бы перебивают хребты-с да уж как на скотобойнях и это то есть в этом было что-то хоть и *капельку* успокоившись однако страшно тяжкое неподъемное-с:

– А в письме, дорогой и единственный друг мой Степан Ильич, этот негодяй, эта ничтожная низменная душонка вновь требует объяснений! Словно я – эта самая *madam Burlesque*! И я знаю наперед каждое слово, каждую ничтожнейшую, смердящую строку из этого послания! Что это что это что это если предположить: *дар пророчества*? Вы рассмеетесь! И поделом, поделом! Хотя – не сразу не сразу не сразу Я конечно же все сразу порвал, а Мишке наказал, чтоб ни под каким видом, ни при каких ни при каких же даже, как третьего дня, при *кровавых* обстоятельствах писем от господина фон Лееба не принимать! Но потом... – граф покачал головой, словно у него заломило все зубы. – Что было потом, друг мой! Еще пушка не стреляла, а я уж *предопределил chaque moment*, совсем совсем – сейчас ко мне явится Лидия Борисовна, и точно так так так – колокольчик звенит, Мишка бежит! Но вы никогда не догадаетесь с чем она ко мне пожаловала! Да и не поверите мне на слово, коли я как это совсем уж совсем уж скажу или сказать изволю! Он сильнее сжал руку Воскресенского и, трепеща, будто в сильной лихорадке, потянул его к двери как это к тяжелой к тяжкой это обделанной медью.

– Пойдемте же немедля! Я покажу вам я покажу вам я покажу вам, я должен показать вам все! Этот день мы все запомним навеки, *ma parole*! Только бы эта гадина не испортила все!

– Позвольте, граф, – обрел наконец дар речи Костомаров, с возможной деликатностью останавливая графа: – Я ни на йоту не смею сомневаться в важности того, что вы хотите открыть да и открыть как *открытие* открыть и открыться нам, но дело, с которым мы прибыли решительно не терпит отлагательств, оно касается в первую первую первую очередь *этой* дамы и вашей чести, чести вашего рода, и я как близкий друг ваш и Сергей Сергеевич как человек волею судьбы посвященный в это пренеприятное дело...

– Ни слова больше, друг мой! – воскликнул граф, сверкнув глазами. – Я прошу, я требую чтобы вы сейчас же проследовали за мной в гостиную!

Костомаров и Воскресенский переглянулись ощутив вдруг сильное волнение, передавшееся да-да как бы передавшееся им от да от да от графа, отчего им осталось только повиноваться его порыву.

Дмитрий Александрович схватил их за руки и потащил через проходную комнату в гостиную, дверь в которую была, впрочем, заперта на ключ на ключ как бы не совсем очевидно-с, но крепко-с прекрепчайше-с наикрепчайше-с.

Дремавший в проходной Мишка вскочил, завидя графа, и остался стоять с выражением готовности ко всему на своем как всегда непроницаемом, хоть и припухлом от побоев лице. Граф, между тем, взялся за ключ, чтобы отомкнуть дверь правильно отомкнуть обстоятельно и все прямо прямо прямо, но вдруг, поворотившись к Воскресенскому и заговорил с прежним жаром:

– Милостивый государь, я не сомневаюсь в искренности ваших намерений и вижу, что вы вы вы пришли сюда не из праздного любопытства, а чтобы помочь нам всем выпутаться из этой... из этого... из этого ада, в который ввергла нас эта подлая женщина. Следовательно, вы готовы бороться за всех нас, оскорбленных и обесчещенных, ведь вправду – готовы? Так ведь?

– Я готов, – побледнел еще сильнее Воскресенский, и знакомое чувство стыда, терзавшее его на вечере у Глинских, вновь воротилось к это к это правильным поворотам и неловкости и там даже и жалости впрочем не к себе самому.

– А ежели вы готовы – войдите первым! – сурово прошипел граф, отмыкая дверной замок. – Mon heure a sonne!

Воскресенский вошел в гостиную. Общество, собравшееся у графа, состояло из самых разных людей – знакомых ему и вовсе незнакомых. Все они стояли вокруг небольшого высокого стола с шампанским и закусками и закусточками-с разного самого это это деликатнейшего свойства что-то да что-то *необыкновенное* совсем уж. Из собравшихся выделялись Лидия Борисовна, Иван Степанович Чернорязжский, Лариса, Nicolas Глинский, Виктор Николаевич Одоевский и Петя Холмогоров. Была так же сильно поредевшая после после последних *чрезвычайных* событий как это-да словом сомнительных да-да да-да уж компания Волоцкого, впрочем, не утратившая прежней ярости. Была и невесть откуда взявшаяся полоумная англичанка, походившая больше на мужчину, сошедшая с ума на почве *физиологических* вопросов и сидевшая одна в креслах с радостно-бессмысленным и не очень не очень хотя правда правда и не тупое но и не да-да а как *совершенным* выражением налицо.

Едва Воскресенский вошел, все разом поворотились к нему. Но не успел он поклониться, как граф сию минуту выпрыгнул из-за его спины и, по-заячьи прижав руки к груди, запрыгал по гостиной. Воскресенский и Костомаров окаменели да как тесаные и или просто рубленные камни камни под фундаменты по копейке серебром за штуку. Однако собравшиеся как по команде заулыбались.

– Вот те-на! – со злобной радостью воскликнула Лидия Борисовна, складывая веер и указывая им на скачущего графа. – Опять наш граф зайчиком запрыгал! Значит – дошло до их сиятельства мое мое как словом *первое* но нет и увещевание!

Громкий хохот раздался по всей гостиной.

– Опять кавардак! – взвизгнул голос.

– Вот вам и бывлые миловзоры-с! – проревел другой,

– Vox roruli на новый манер! – засмеялся третий.

– Это все последствия! – язвительно заметил Глинский.

Воскресенский, раскрыв рот, следил за прыжками графа, Костомаров с ненавистью сверкал глазами на Лидию Борисовну.

– Этого толстяка я где-то видала, – махнула она веером на Воскресенского. – А вот господин Костомаров тут отчего? Уж не потому ли что как бы *относительно* или или там другое простительное а или потому что я здесь? Чай не влюбились вы в меня, Степан Ильич?

Новый приступ хохота прокатился по собравшимся.

– В вас влюбиться, Лидия Борисовна, – адское потрясение! – проревел Баков. – Это хуже янычарова ножа! Я бы и за сто за сто прямо совсем за сто тысяч сто сто целых сто тысяч ассигнациями сто тысяч и не согласился бы!

– Степан Ильич человек отчаянный, не вам чета! – съязвил Черноряжский.

– Он о деньгах не печется! – усмехнулся Глинский.

– Ему *другого* надобно! – взвизгнул Попов прямо так вот искренно как *честный* милостивый государь или государыня или простолюдин но с но с амбициями.

Гости захохотали. Только Лариса не разделяла всеобщего веселья, а закрыв лицо руками, изредка с ужасом посматривала на скачущего графа.

– Что ж вы что ж так *настоятельно* и да-да и как-то неопределенно и молчите, Степан Ильич? – с усмешкой продолжила Лидия Борисовна. – Отчего вы здесь? Это после того, как вас отсюда давеча так *настоятельно* попросили?

– Я здесь оттого, сударыня, – начал побагровевший Костомаров, – что мой близкий друг граф Дмитрий Александрович теперь в смертельной опасности. И эта опасность – вы.

– Ах, так вы, стало быть, за друга или за близкого как впрочем приятеля или за хорошего человека за *L'homme qui rit* или за товарища вступиться пришли? Граф! Ваше сиятельство! А точно ли Степан Ильич друг ваш? Верно ли это?

– Совершенно верно! – пробормотал прыгающий граф.

– Вот те-на! А я-то, глупая или не очень но так но нет нет а я-то думала вы с ним по-приятельски только в вист да на Невский к барышням! А тут вдруг – друг! Не верю! Убейте меня – не верю!

– Степан Ильич – мой старинный добрый и близкий друг, это святая правда! – с жаром воскликнул граф, не переставая прыгать. – Я готов с ним на любое поприще! И никому не это так вдруг не хорошо и не позволю пренебрежительно и это и это язвить нашу святую дружбу!

– Помилуйте, граф, кто же тут осмелится на *святое* покуситься! – фыркнула Лидия Борисовна. – Теперь не про Дружбу речь, а совсем про другое. И, послушайте! Долго вы эдаким манером скакать намерены? Вы же не заяц и так не медведь да и не *кабан* и вовсе вовсе вовсе не *дрофа* и таким образом не цыплята цыплята и не лошадь скаковая и даже не жокей, как Богомоллов, а скачите! Богомоллов, скажите хоть вы графу!

Все поворотились к Богомоллову, который чуть поодаль ото всех пил свою мадеру.

– У меня-с, Лидия Борисовна-с, есть один железный принцип-с, – угрюмо заговорил Богомоллов. – Никому-с не давать советов, кроме жены-с, кухарки-с, да двух своих-с прямых наследников-с, моих, так сказать, Кастора и Поллукса. Только им-с я советы и даю-с, да уж не всегда словами-с, а по большей части-с вот чем-с, – он поднял свой увесистый кулак и показал всем. – У меня в дому-с это называется *конкретное* воспитание-с. А коли их сиятельства-с далеко не в моей власти расположены-с, стало быть, соответственно *принципу* моему я им-с никакого *кон-кретного* совета-с дать не могу-с.

– А напрасно, Богомоллов, право напрасно! – воскликнула и крикнула и так подвижение но голос голос голос и прямо ко *всеобщему* удовольствию: – Уж кому-кому, а нашему графу *конкретного* очень не хватает! Не правда ли, господа?

– *C'est charmant, c'est tres rassurant!* – взвизгнул голос.

– В духе времени! – послышался другой.

– Господа, а не попросить ли нам нам и нам убедительно убедительно-с хорошо и прямо господина Богомоллова ко *всеобщему* удовольствию и удовлетворению отказать от своего принципа, хотя бы на четверть часа, да и доставить нам *une minute de bonheur*? – предложил слегка захмелевший Nicolas.

– Попросим, господа! – подхватил Баков.

– Богомоллов словам не верит! – высказался презрительно молчавший до этого Петя. – Его на интерес просить надобно!

– А вот мы его и попросим на *интерес* ! – заключил и даже даже и вот как бы отрезюмировал и не урезонил и немного немного капельку-с и Чернорязжский сам, шутовски уступая дорогу прыгающему мимо него графу и доставая кошелек. – Voila, господи!

Он вытащил из кошелька пятирублевую банкноту:

– Делайте взносы, господи, прошу вас!

– Однако, довольно, Иван Степанович, – с укоризной заметил ему Волоцкий. – Эдак вы далеко заходите. У каждого *petit*, да *petit petit* как уж *petit mogseau* веселого да-да-с есть в некотором роде нравственный предел.

– Я не шучу, господи, – серьезно проговорил Чернорязжский.

– Что это значит, милостивый государь? – дрожащим от негодования голосом спросил Костомаров.

– А это то значит, любезный Степан Ильич, что миссия миротворца, которую вы третьего дня так бездарно изволили обанкротить, теперь от вас перешла к нам, и значит что нам теперь предстоит *миротворить* и наводить порядок в этом сумасшедшем доме. И не смейте смотреть на меня меня и это меня как на пьяного, я не пьян! – выкрикнул Чернорязжский так громко, что все разом стихли, только всхлипывала Лариса, да продолжал прыгать граф.

– Я не понимаю к чему вы клоните? – спросила Лидия Борисовна. – Объясните нам чего вы наконец хотите?

– Я хочу навести порядок в этом доме раз и навсегда! – сурово произнес Чернорязжский, подходя к Богомолу – Николай... как вас...

– Матвеевич, – угрюмо угрюмо и это не очень не очень и подсказал Богомол.

– Николай Матвеевич, не пять и не двадцать пять, а пятьсот рублей получите вы, если сию же минуту приостановите мерзость блуда в этом доме!

– Это как же он *приостановит* ? – изумилась Лидия Борисовна.

– Я хочу, чтобы Богомол высек графа Дмитрия Александровича! Высек у нас на глазах! – прокричал Чернорязжский. – Сейчас и здесь!

– Что? – как бы в полусне спросила Лидия Борисовна, медленно, медленно и как как тяжело все варенье варенье приближаясь к Чернорязжскому – Как вы изволили выразиться? Высечь?

– Высечь! Высечь! Непременно высечь! Здесь! Перед всеми!

– Это грибное, – неожиданно для себя и для окружающих произнес Костомаров. – Я... я... требую. Требую.

Все в оцепенении смотрели то на Чернорязжского то на скачущего графа. Лидия Борисовна молча молча молча и совсем близко подошла к раскрасневшемуся Чернорязжскому, как-то близоруко *заглянула* ему в глаза и вдруг со всей мочи ударила рукоятью веера его по лицу. Все ахнули. Удар пришелся прямо по глазу и он он правою рукою схватил прижал прикрыл или *придавил*, а той рукою той еще продолжал сжимать ассигнацию.

– А теперь – убирайтесь вон! – Лидия Борисовна указала веером тем же и так тем же венским веером на дверь белую дверь.

Сам же Чернорязжский оказался настолько неготовым к такому повороту событий, что опомнился не сразу, а придя в себя, не по-человечески зарычал и бросился на Лидию Борисовну; и возможно горько пришлось бы ей, не очнись первым из гостей Волоцкий, преградивший путь Чернорязжскому.

– Иван Степанович! – успел проговорить он, но был тотчас с силой оттолкнут Чернорязжским и, отлетев шага на три, упал на стул на венский стул хоть и совсем простой и без лаку вовсе.

Шум от его падения привел гостей в чувство, и через мгновение несколько крепких рук уж схватили бессмысленно рычащего Чернорязжского.

– Господи, вытолкайте этого негодяя вон! – приказала Лидия Борисовна.

Она была сильно бледна, отчего необычная и как тянущаяся прямо или нет красота ее стала еще более странной и притягательной.

Черноряжского повели к дверям.

– С этой тварью... этой дрянью... убью! – рычал он, сопротивляясь.

– В толчки его, в толчки! – зло и весело крикнула Лидия Борисовна

– Это грибное... это грибное... – повторял как в забытьи Костомаров.

– Кулачного права с дамою не позволим! Пусть своих борзых сечет! – заревел пьяный Баков. – А графов да князей по преимуществу – на гильотину! Закон соответствий!

Carbonari, vivat!

– Новый Бенкендорф выискался! – взвизгнул голос.

– Она сумасшедшая! Помешанная! Уверяю вас! – закричала Лариса. – Боже мой! Неужели никто не остановит ее! Неужели нет никого, никого никого кто преградил бы или *препятствие* воздвигнуть и чтобы чтобы твердыня *рябых* снов моих, кто бы остановил эту подлюю?!

Но в поднявшемся шуме никто не услышал вопля Ларисы. Между тем рычащего

Черноряжского вывели из гостиной

– Так-то лучше! – крикнула ему вслед Лидия Борисовна. – *Vonne chance*, Иван Степаныч!

Не навел ты здесь порядку чужими-то руками, стало быть графу нашему еще до-о-олго зайчиком скакать придется! А Богомоллов и без твоих пятисот рублей проживет!

Проживешь, Богомоллов?

– Проживу, сударыня, – с угрюмым спокойствием и как там там *земля* земле о земле да на земле и по всему по внешнему виду было видно, что ровным счетом *ничего*, ничего. – Сечь графов – не мое занятие.

– Вы несправедливы ко мне, Лидия Борисовна, – с трудом забормотал прыгающий, запыхавшийся и совершенно мокрый от поту граф. – Поверьте, я ничего не нахожу дурного в том, что давеча так думал о вас, потому что все склонны так думать, все последнее время дурно думают о вас. И для этого у всех имеются основания, и довольно веские. Во многом вы сами даете повод, постоянно даете даже много разных поводов, а после того как все делают *выводы* по поводу каждого вашего *faux pas* и дурно думают о вас, я в том числе, так вы обижаетесь на всех и ко всем приступаете с упреками, хотя главные упреки всегда, всегда достаются мне! И это просто страшно, *c'est tres serieux!*

– *Vraiment?* – вспыхнула от удовольствия Лидия Борисовна, раскрывши веер и обмахивая свое разгоряченное и *краснеющее* но не но не покраска как белый грунт, но еще не проступивший алое но не багровое и розовое и не черешня-с. Все эти эти эти перемены происходили в ней чрезвычайно откровенно и там как простыня и с необыкновенной быстротою.

– Граф, вы же знаете кто я! Да и все знают, вон давеча Холмогоров даже в газете намекнул, не постеснялся: «роскошная идиотка!» Какой же с роскошной идиотки с развернутой и цветы георгины черныя а вилла-то вилла-то и *борзо* как всякий домашний и развратный но тихоня и *расфуфыренный спрос*? Вон и Одоевский подтвердит! Подтвердите, Илья Николаевич?

Одоевский, стоявший рядом с Холмогоровым, побелевшим от злости после упоминания пресловутой статьи, собрался ответить, но тут дверь распахнулась, вошел вбежал всхрамал как деревянное масло Мишка с докладом:

– Барин, там Бог знает что, два человека с машиною какою-то и человек десять ломовых! Говорят, что к вам и вы знаете уж!

– А-а-а! Вот и развязка! Наконец-то! – вскричал граф, распрямляясь и в изнеможении опускаясь в кресла. – Зови, Мишка, всех зови до одного!

Гости переглянулись. Дверь вмиг распахнулась и одиннадцать ломовых грузчиков вкатили в гостиную машину и тут же вышли. С машиною остались два немца, совершенно не говорящие по-русски; один из них держал в руках деревянный футляр продолговатой

формы. Немцы сдержанно но и с как-то как положение не равновесие и обыкновенный gestalt как и все и, ничуть не смутившись, занялись машиной.

– Voila, господа! – с жаром воскликнул граф, вскакивая и подбегая к машине. – Вот то чудо, что спасет не только нас всех, но и весь род человеческий! Herr Gollwitzer, herr Sartorius, wir sind bereit, bitte schon!

Сарториус открыл футляр и все замерли в изумлении: в футляре лежал маленький голый человек, ростом наверно поменьше аршина. Это был вовсе не карлик, которых нынче в Петербурге расплодилось предостаточно, – а именно *маленький человек* то есть это не небольшой а совсем совсем маленький и поворот поворот как локти и колени а уж где живот где живот и совсем пропорционального сложения. Он лежал в своем футляре как в гробу, закрыв глаза

Но едва Сарториус взял его за руку, лилипут открыл глаза, огляделся и улыбнулся всем странной, чрезвычайно доброй и проникновенной, но и болезненной улыбкой. Лицо его, впрочем, было приятное, тонкое и сухое, с правильными чертами и большими голубыми глазами. Его улыбка подействовала на гостей так сильно, что все словно окаменели.

Лилипут же подождал минуту-другую и произнес тихим вкрадчивым голосом:

– Сошьемся вместе, братья и сестры.

И в тот же миг немцы запустили свою машину и все ее механизмы пришли в движение, а гости как замороженные пошли к ней. В машине было три углубления, в которые сразу помещались трое, а стало быть трое и могли сразу вместе сшиваться; к этим уже сшитым вместе троем подшивались еще трое, еще трое – и так до *бесконечности* то есть и до конца и это и это до Покоя и Воли и до *всемирного счастья* как хотел как полагал и надеялся.

– Я настоятельно прошу всех обратить внимание на иглы! – возопил граф, пришедший в сильнейшее возбуждение. – Это что-то потрясающее, прямо настоящее... это невероятно... *c'est curieux, ma parole...* иглы иглы так и все все все полые изнутри но крепчайшие прочнейшие тончайшие-с но чрезвычайно проворно как шелковый червь и внутри внутрь напичканы опиум-с и даже не опиум а опиумный бальзам и позволяет сквозь отверстия мельчайшие отверстия сочиться просачиваться в кровь и облегчать боль во время сшивания и даже даже не боль приятное чрезвычайно приятное ощущение! Я хочу быть в первой тройке! Кто со мной?

– Я с вами, граф, – быстро откликнулся вмиг протрезвевший Баков.

– И я, – выступила вперед из толпы Лариса.

Они встали рядом в углубления, и машина тут же сшила их вместе. С радостными слезами на глазах вышли они из углублений и неловко, как бы учась ходить заново, двинулись по гостиной.

– Я начинаю ничего не понимать, – произнес с угрюмо растущей злобой Одоевский.

– Сошьемся вместе, братья и сестры, – снова проговорил лилипут.

– Нет. Это не для меня! – Лидия Борисовна отшвырнула веер прочь и выбежала.

– Это... черт знает что... негодяйство какое-то! – выбежал вслед Глинский.

– Это грибное, грибное... – бормоча, последовал за ними Костомаров.

– Негодяй! – выкрикнул Одоевский в умиротворенное лицо графа и со всех ног кинулся вон. За ним бросились остальные. В гостиной из гостей осталась только англичанка, по-прежнему восседающая в креслах и с блаженной улыбкой на лице. Подоспевшая вскорости полиция арестовала немцев и лилипута. Машину конфисковали. Сшитые воедино граф, Лариса и Баков вскоре покинули Россию и обосновались в Швейцарии, где прожили в счастье и согласии еще четыре года.

Первой умерла Лариса. Через час после ее кончины удавился Баков. Оба трупа благополучно отрезали от тела графа и похоронили. Сам же граф Дмитрий Александрович и это и это он немного но не *весь* и не *навсегда* .

Вот так, рипс нимада табень.

Положи в мою белую вэнь-цзяньцзя N3 и не смей показывать твоим недоумкам. Прессую.

**Boris.**

**14 января.**

Ни ха, сяотоу.

Сегодня позволил себе лыжную прогулку. Почти час поднимался на правую сопку.

Вспотел и минус-директно дышал: гиподинамия. Много снега и он не всегда под коркой.

Проваливался. Зато на вершине – *wunderschon*.

Великолепный шаншуйхуа, свежий сухой ветер, сороки на лиственницах и –  
*удовлетворение* .

Снял лыжи, сидел на поваленной елке. Думал не только о тебе, сяочжу В бункере праздник и ликование. Дисциплина: 0. Полковник пьет с утра. Я воздерживаюсь.

Читал «Чжуд-ши» о шести вкусах. Когда дошел до сладкого, вспомнил твои пристрастия.

Помни: «Избыток сладкого порождает слизь, ожирение, угнетает тепло, тело толстеет, появляется мочеизнурение, зуб и рмен-бу».

Не увлекайся мягким сахаром, я предупреждаю тебя *серьезно* .

Шлю тебе текст, произведенный Ахматовой-2. За время скрипт-процесса объект совсем не деформировался. Только сильное кровотечение: вагинальное и носовое. В накопительный анабиоз объект вошел соответственно.

Шлю тебе текст, произведенный Ахматовой-2. За время скрипт-процесса объект совсем не деформировался. Только сильное кровотечение: вагинальное и носовое. В накопительный анабиоз объект вошел соответственно. Если эта тварь проживет месяца четыре и накопит килограмма два голубого сала – это будет наш топ-директ и торжество ГЕНРОСМОБа.

**Ахматова-2**

**Три ночи**

**I**

Я молилась виадукам и погостам,  
Растопила лед вечерних подворотен,  
Забывала про печаль неосторожных,  
Выходила на заросшую тропинку,  
Да спешила на пожарище слепое,  
Чтобы ветер не сорвал мои одежды,  
Чтобы ворон не закапал черной кровью,  
Чтобы девушки не проронили звука.  
Меня встретили торжественные люди,  
Они прятали змеиные улыбки,  
Раскрывали мне свинцовые объятия  
И старались не нарушить детской клятвы.  
Если слезы на морозе замерзали –  
Мы скрывались за тесовыми воротами.  
Если клекот обрывался с колокольни –  
Запирались мы амбарными замками.  
Да следили за паломником убогим,  
Не давали пить сторожевым собакам,

Не метали мы камень в смуглых нищих.  
На ночь выпростал возлюбленный рубаху,  
Разорвал на мне резное ожерелье,  
Опечатал бледный лоб мой поцелуем,  
Наложил на груди жгучее заклетье:  
Не ходи в страну голодных и веселых,  
Не люби зеленоглазых и бесстрашных,  
Не целуй межбровья отроков кудрявых,  
Не рожай детей слепым легионерам.

## II

Попросил меня исправить  
Милое лицо –  
В ноздри трепетные вставить  
Медное кольцо.

Поднесла и поманила,  
А потом взяла.  
И до звона закусила  
Удила.

Жги меня, палач умелый  
Ставь свое клеймо.  
Пусть узнает это тело  
Преданность Шамо.

По тебе уж отрыдала –  
Высохли глаза.  
Мне теперь и боли мало –  
Кончилась гроза.

Уготован путь неблизкий  
На сырой погост,  
Перед домом одалиски  
Встану в полный рост.

Наклонюсь и поцелую  
Дорогой порог.  
Прокляни меня, былую,  
На кресте дорог.

Все тебе прощу сестрица  
Горькая моя.  
Отпусти меня молиться  
За тебя, змея.

## III

Жили три подруги в селеньи Урозлы,

Три молодые колхозницы в селеньи Урозлы:

Гаптиева, Газманова и Хабибулина.

Ай-бай!

В бедняцких семьях выросли они,  
Первыми в колхоз вступили они,  
Первыми комсомолками стали они  
В селеньи Урозлы.

Ай-бай!

Ленину-Сталину верили они,  
Большевистской партии верили они,  
Родному колхозу верили они.

Ай-бай!

Как весной сошел снег,  
Стали строить школу  
Гаптиева, Газманова и Хабибулина.

Хорошую школу,  
Просторную школу,  
Для крестьянских детей школу

Ай-бай!

Гаптиева кетменем глину копала,  
Газманова солому вязала,  
Хабибулина саман месила,  
Крепкими ногами саман месила,  
Молодой навоз в саман положила,  
Чтобы крепко стояла школа,  
Чтобы теплой была школа,  
Чтобы светлой была школа

Селенья Урозлы.

Ай-бай!

Жили кулаки в селеньи Урозлы,  
Жадные кулаки в селеньи Урозлы,  
Злые кулаки в селеньи Урозлы:

– Лукман, Рашид, старик Фазиев да мулла Бурган.

Ай-бай!

Узнали про школу кулаки,  
Затряслись от злобы кулаки,  
Сжали кулаки свои кулаки,  
Пошли вредить кулаки:  
Солому поджигали кулаки,  
Саман воровали кулаки,  
Тухлой кониной швырялись кулаки,  
Над колхозом насмехались кулаки.

Ай-бай!

Не стерпели Гаптиева, Газманова и Хабибулина,  
В район пошли подруги-колхозницы –  
Управу искать на кулаков,  
Защиту просить от кулаков,  
Войну вести против кулаков.

Ай-бай!

В город Туймазы подруги пришли,  
В ГПУ колхозницы пришли,  
С серьезным разговором пришли.

Тепло их встретил товарищ Ахмат,  
Чернобровый, сероглазый товарищ Ахмат,  
Герой Гражданской товарищ Ахмат,  
Соратник Ленина-Сталина товарищ Ахмат.  
Ай-бай!

Рассказали все ему комсомолки  
Гаптиева, Газманова и Хабибулина,  
Всю правду, все как есть рассказали,  
Всю печаль да всю боль рассказали,  
Все заботы свои рассказали.

Ай-бай!

Снарядил отряд товарищ Ахмат,  
Сел на белого коня товарищ Ахмат  
И повел отряд товарищ Ахмат  
В селенье Урозлы повел отряд.

Ай-бай!

Похватили кулаков как паршивых псов:  
Лукмана, Рашида, старика Фазиева да муллу Бургана  
Испугались кулаки,  
Упирались кулаки,  
Со страху обмарались кулаки.

Судил кулаков народ,

Покарал кулаков народ –

На воротах повесил кулаков народ:

Лукмана, Рашида, старика Фазиева да муллу Бургана.

Ай-бай!

Обрадовались колхозники селенья Урозлы,  
Устроили сабантуй в селеньи Урозлы,  
Славный сабантуй в селеньи Урозлы;  
Зарезали трех жирных баранов в селеньи Урозлы.

Приготовила Гаптиева баурсаки,

Приготовила Газманова бельдыме,

Приготовила Хабибулина беляши.

Ай-бай!

Стали поить товарища Ахмата,

Стали кормить товарища Ахмата,

Стали песни петь товарищу Ахмату,

Стали спрашивать товарища Ахмата:

Что пожелаешь ты, дорогой товарищ Ахмат?

Отвечал им товарищ Ахмат:

Понравились мне комсомолки

Гаптиева, Газманова и Хабибулина,

Хочу с одной из них ночь провести.

Ай-бай!

Улыбнулись подруги,

Смутились подруги,

Отвечали подруги:

– Не сердись, товарищ Ахмат,

Не злись, товарищ Ахмат,

Мы подруги-комсомолки, товарищ Ахмат,

В семьях бедных росли мы, товарищ Ахмат,

Слезы вместе глотали, товарищ Ахмат,

Ленину-Сталину вместе молились, товарищ Ахмат,  
В колхоз вместе вступили, товарищ Ахмат,  
Комсомолками стали, товарищ Ахмат,  
Школу строим мы вместе, товарищ Ахмат,  
Спать с тобой будем вместе, товарищ Ахмат.  
Ай-бай!

Удивился товарищ Ахмат,  
Согласился товарищ Ахмат.  
Пошли на луг Дубьяз  
Гаптиева, Газманова и Хабибулина,  
Поставили на лугу юрту из белого войлока.  
Раскатали в юрте верблюжьей кошму,  
Застелили кошму китайским шелком,  
Взяли под руки товарища Ахмата,  
Ввели в юрту, товарища Ахмата,  
Раздели товарища Ахмата,  
Натерли его твердый плуг бараньим салом,  
Чтобы лучше он подруг перепаживал.  
Разделись подруги-колхозницы догола,  
Возлегли рядом с товарищем Ахматом.  
Ай-бай!

Всю ночь пахал их товарищ Ахмат:  
Гаптиева три раза,  
Газманову три раза,  
Хабибулину три раза.  
Ай-бай!

Утром, как солнце взошло,  
Встали подруги, оделись, самовар раздули,  
Напоили чаем товарища Ахмата,  
Брынзой накормили товарища Ахмата,  
В путь снарядили товарища Ахмата,  
На коня посадили товарища Ахмата.  
Поехал по степи товарищ Ахмат,  
По широкой степи товарищ Ахмат,  
В город Туймазы товарищ Ахмат,  
На большие дела товарищ Ахмат.  
Ай-бай!

Как минуло девять лун,  
Родили Гаптиева, Газманова и Хабибулина  
Трех сыновей:  
Ахмата Гаптиева,  
Ахмата Газманова,  
Ахмата Хабибулина.  
Сильными, смелыми, ловкими стали они,  
Умными, хитрыми, мудрыми стали они,  
Бескорыстными и беспощадными стали они  
И не было равных им  
Ни в Урозлы, ни в Туймазы,  
Ни в Ишимбае, ни в Уфе,  
Ни в Казани большой.  
Ай-бай!  
Узнал великий Ленин-Сталин

Про трех Ахматов,  
Призвал к себе трех Ахматов,  
На службу призвал трех Ахматов,  
В Небесную Москву трех Ахматов,  
В Невидимый Кремль трех Ахматов.  
Ай-бай!

С тех пор три Ахмата  
В Небесной Москве живут,  
В Невидимом Кремле живут,  
На Ленине-Сталине живут:  
Ахмат Гаптиева  
На рогах Ленина-Сталина живет,  
На шести рогах Ленина-Сталина живет –  
На могучих рогах,  
На тягучих рогах,  
На ветвистых рогах,  
На бугристых рогах,  
На завитых тройной спиралью рогах:  
Первый рог в Грядущее целит,  
Второй рог в Минувшее целит,  
Третий рог в Небесное целит.  
Четвертый рог в Земное целит,  
Пятый рог в Правое целит,  
Шестой рог в Неправое целит.  
Ай-бай!

Ахмат Газманова  
На груди Ленина-Сталина живет –  
На широкой груди,  
На глубокой груди,  
На могучей груди,  
На текучей груди,  
На груди с тремя сосцами:  
В первом сосце – Белое молоко,  
Во втором сосце – Черное молоко,  
В третьем сосце – Невидимое молоко.  
Ай-бай!

Ахмат Хабибулин  
На мудях Ленина-Сталина живет,  
На пяти мудях его живет –  
На тяжелых мудях,  
На багровых мудях,  
На мохнатых мудях,  
На горбатых мудях,  
На мудях под ледяной коркой:  
В первом муде – семя Начала,  
Во втором муде – семя Пределов,  
В третьем муде – семя Пути,  
В четвертом муде – семя Борьбы,  
В пятом муде – семя Конца.

Так и живут они вечно.  
Ай-бай!

Обрати внимание на почерк; это к нашему *зеленому* разговору, рипс нимада! Если ты упрямо, как пенътань, пишешь вертикально, твоя L-гармония рано или поздно будет нуждаться в трех Ахматах!

SHUTKA.

Сегодня вечером буду нюхать. И читать «Троецарствие». Завидуй, рипс лаовой.

**Не твой Boris.**

**15 января.**

Встал с трудом. Тотальное маннованно.

И все потому, рипс, что в веке прагматического позитивизма я остаюсь безнадежным *radis-*романтиком.

Мы директно нюхнули вчера с Агвидором.

Запили березовым соком.

Он двинул играть в *rix-dix* с Карпенкофф, Бочваром и сержантом Беловым (трогательный лао бай син, но не шагуа).

А меня, вместо благопристойного чтения «Троецарствия», вдруг потянуло на?

Не угадаешь, рипс сячжу.

Да я и сам не скажу. Пошлю тебе лучше текст Платонова-3. Эта самая экзотическая особь произвела самый M-предсказуемый текст. Я оказался прав на 67%. Внешне Платонов-3 ничуть не изменился: как был журнальным столом, так им и остался.

**Платонов-3**

**Предписание**

Степан Бубнов шуровал топку помалу и не услышал как в кабину ломтевоза влез человек. – Ты Бубнов? – закричал посторонний высоким непролетарским голосом. Степан обернулся, чтобы предъявить свое классовое превосходство и увидел коренастого парня с лицом, перемолотым напряженным непостоянством текущей жизни. Голова парня была плоской и не по летам лишеной растительности, вследствие тугого прохождения сквозь воздушный чернозем революционного времени.

– Я кромсальщик из депо! Зажогин Федор, – закричал парень, стараясь своим буржуазным голосом перекрыть классовый рев топки.

– Ты случаем не у Врангеля глотку напрокат взял? – спросил Бубнов, закрывая топку.

– У меня к тебе мандат от товарища Чуба! – серьезно полез в карман гимнастерки

Зажогин. – В Болохово пойдем! Там белый гад жмет сильно

Бубнов соскреб в жестянку лишний мазут с ладони и взял у Зажогина чистый клочок бумаги:

Машинисту Бубнову С. И. предписывается срочно доставить пролетарский ломтевоз N316 на разезд Болохово для солидарного сцепления с бронепоездом «Роза Люксембург».

**Нач. депо товарищ Иван Чуб.**

– Какой же это мандат? – сложил Бубнов бумагу уже без всякого уважения к ней. – Это предписание, неглубокий ты человек! Мог бы и на словах передать, чего зря буржуазное приданое транжирить! Давно ты в депо?

– Вторые сутки! – уважительно заглянул в кромсальную Зажогин. – Я теперь с Вологды! Мы там состав собрали, да не доставили – контрреволюция на щепу разнесла!

– Это под Хлюпиным что ли?

– Под ним самим!

– А мой старый кромсальщик где? Петров?

– Его с армянами за сахаром услали! В Раздольную!

– Нашли за чем посылать! – зло неодобрил Бубнов. – Рабочий желудок и без сахара проживет – была бы жидкость! Ну, полезай к ножам!

Зажогин исчез в кромсальной. Бубнов снял ломтевоз с тормоза, дернул балансир. Шатуны тронулись и пошли со свистом месить степной воздух. Кругом до самого горизонта разворачивалась бесчеловечная равнина, поросшая тоскливыми травами, угнетенными солнцем и ветром. Когда прошли Сиротино, Бубнов установил реверс на средней тяге и заглянул в кромсальную.

Зажогин сурово орудовал барбидным ножом, кромсая проявленные трупы врагов революции и закидывая бескостные ломти в запасник.

«Ухватистый! – положительно подумал Бубнов. – Только бы метал нормально!»

В Осташкове попросились до Конепеда четверо безногих доноров и беременная баба с куском рельса.

– Прыгать сами будете! У нас на простой пару нет! – предупредил их Бубнов.

– Прыгнем, товарищ, а как же! – обрадовались теплу и движению доноры. – Нам теперь ломать нечего!

– Зачем тебе народное железо понадобилось? – спросил Бубнов бабу. – Твое дело – из некультурной земли пользу тянуть!

– Муж в Конепеде срубы на вес продает, а безмена до сих пор не наделал! Все мешками с песком перевешивает! – подробно ответила баба, бережно прислонив рельс к животу, чтобы усыпить растревоженного ребенка холодным и спокойным веществом.

– Ишь, чего удумали, вошебойщики! – усмехнулся Бубнов. – А когда землю по кулацкому завету продавать вознамеритесь – тоже безмен понадобится?

– Землю, браток, токмо правильным умом перевесить можно! – ответил вместо уснувшей бабы самый умный инвалид.

– Правильным умом не землю, а земных дураков перевешивать надо! – отрезал Бубнов. – Столько накопил их трухлявый режим, что и в земле сразу не все помещаются! Сильно ждать приходится, пока старые сгниют да новым места поуступают!

Ломтевоз с ревом прошел ложбину и запыхтел в гору

– Даешь тягу! – крикнул Бубнов в патрубок и открыл топку.

Зажогин высунул из кромсальной задумчивое лицо и стал метать в топку ломти, нещадно макая их в корыто с мазутом, Раскаленное нутро топки жадно глотало куски человеческого материала.

– На чьих ломтях идем? – поинтересовался другой безногий. – Чай на каппелевцах?

– На офицерье нынче далеко не угонишь! – урезонил его Бубнов. – Они свой белый жир на лютом страхе сожгли! С их костей срезать нечего!

– Стало быть на буржуях прем? – оживился инвалид.

– На них! – крикнул Бубнов.

– А я одна из Костромы в Ярославль на тамошних кулацких ломтях ехал! – продолжал инвалид, с сочувствием подползая к ревушей топке. – Еще когда при ногах был! Так мы сто верст за полчаса сделали! Пар на версту свистел! Вот что значит – отъевшийся класс! Вдруг несколько кусков быстрого свинца ударили по кабине и по тендеру, пробив их насквозь вместе с телами двух инвалидов и бабы. Простреленные инвалиды повалились

на жирный пол и долго дергались, неохотно расставаясь с нескучной жизнью. Баба без сопротивления умерла во сне, а ребенок из-за близости рельса продолжал глубоко спать в животе, не чувствуя потери матери.

Бубнов высунулся из кабины и увидел впереди дрезину с людьми и пулеметом. Он потянул балансир и закрыл сифон. Ломтевоз стал яростно тормозить и тихо подполз к смертельной дрезине. Перегретый пар с бесполезным остервенением бил из дырявого котла во внешнее пространство-

– Эй, братва, кто махоркой богат? – спросил с дрезины непонятный народ.

– Вы чьих кровей, душегубы? – спросил Бубнов.

– Красные мы, с разьезду! – определенно отвечал командир дрезины. – А вы сами какие?

– Дёповские, мать твою в богородицу! Что ж ты гад свинцом по своим харкаешь?

– Да мы тут, такое дело, третьи сутки по махре обижаемся! – кривоного подошел командир. – Ни одна сволочь не остановится! А без дыму – воевать тошно! Вошь со скуки заест!

Бубнов осмотрелся. У него самого махорки осталось на два закрута; Зажогин, судя по его мутным глазам, куревом не баловался. Выковыривать же золотую махорку у инвалидов было противно ширококостному естеству Бубнова.

– Нет у нас махры, фулюган! – крикнул он кривоногому. – При за ней к белым!

Командир безмолвно сел на дрезину и скомандовал красноармейцам: те навалились готовыми ко всему грудями на коромысло и дрезина легко покатила прочь. Живые слезли с ломтевоза и проводили дрезину долгими взглядами, в которых было больше зависти к беспрепятственному преодолению пространства, чем укора за убитых.

– Надо б залудить, мастер! – простодушно посоветовал инвалид, глядя на дырявый тендер как на чудотворную икону с сочащейся водой.

– Хреном твоим разве что залудим! – не обратил сурового внимания Бубнов, скучая из-за угрюмой неподвижности ломтевоза. Два выживших инвалида возбужденно ползали вокруг вставшей машины: внезапная гибель товарищей подействовала на них как самогон. Зажогин хозяйственно ковырялся в кромсальной, будто ничего важного не произошло.

Наконец Бубнов придумал.

– Вот что, огрызки мировой революции! – обратился он к инвалидам. – Надо ломтевоз с места сдвинуть, чтоб до Житной доползти. Там нам бак залудят и дальше пойдём!

– Как же мы эдакую тяготу сдвинем? – радостно усомнился инвалид.

– Я вас к шатунам привяжу с обеих сторон, будете колесам помогать! Без этого машине не справиться, пар тухлый, бак пробит!

– Давай сперва убиенных товарищей земле предадим! – предложил инвалид.

– Это можно! – согласился Бубнов. – Чего-чего, а лопат у нас много!

В степи вырыли братскую могилу, в нее положили двух безногих и беременную. Что-то подсказало хоронившим, что беременную надо положить вместе с рельсом, который она продолжала прижимать к животу, даже мертвой заботясь о покое ребенка. Когда стали засыпать тела равнодушной землей, словоохотливый инвалид расчувствовался:

– Мы же с ними вместе ноги ломтевозной флотилии «Коминтерн» пожертвовали! Тогда, слышь, под Бобруйском на пятьдесят верст ни одним ломтем не пахло! Все на фронт кинули! Ломтевозы стоят! Как раненых вывозить? Ну и три роты отдали нижние конечности в пользу выздоровления врагов капитала! На своих ногах мы мигом до Юхнова доехали!

Его товарищ тоже собрался сказать что-то сердечное, но только зарычал из-за бедности человеческого языка, сильно усохшего на революционном ветру. Насыпав невысокий холм над могилкой, в него воткнули совковую лопату, на которой Бубнов нацарапал куском щебня:

*Здесь лежат случайно убитые люди.*

В инструментальном ящике нашли моток проволоки, прикрутили инвалидов к шатунам ведущих колес. Инвалиды важно молчали, внутренне готовясь к необычному труду – Швыряй помалу! – предупредил Зажогина Бубнов. – А то до места не доползем – распаяемся!

Зажогин стал кидать намащенные ломти в остывающую топку. Ломти затрещали, удивляя нутро раненого ломтевоза неожиданным теплом. Прошло немного медленного времени, ломтевоз тронулся и тихо покотился. Освоившиеся инвалиды перекрикивались друг с другом через бессловесно работающий металл

– Товарищ Бубнов, а зачем они по нам с пулемета лупанули? – вспомнил Зажогин, распрямляясь.

– Курить хотели! – Бубнов больно вглядывался в желтый степной горизонт.

– Вот башибузуки! – удивился Зажогин. – Из-за вредного пережитка людей гробят!

– Курево – не пережиток, а горчица к пресной говядине жизни! – урезонил Бубнов, сворачивая в доказательство козью ногу.

Зажогин непонимающе скрылся в кромсальной, так как никогда не мог смириться с необходимостью втягивать в себя непитательный дым. Это не помещалось в его плоской, но интересующейся голове.

Не успел ломтевоз с инвалидами устать, как по обеим сторонам полотна показались торопливые всадники на блестящих от пота лошадях. Хриплыми, уставшими от войны голосами они приказали ломтевозу остановиться.

– Кто такие? – спросил их Бубнов, плотая ветер. Не отвечая, всадники достали заскоружное в боях оружие.

– Белые, товарищ Бубнов! – разглядел Зажогин. – « Неужели фронт прорван? »

– Да куда им! – успокоил его машинист. – Это огарки несущественные! От своего времени отстали, а новое им не по зубам! А ну-ка, Федя, копни в инструменте – там орудия уничтожения должны быть!

Зажогин открыл инструментальный ящик и вытянул два обреза с неумеющими удивляться дулами. Бубнов передернул затвор обреза, посылая в ствол сонный патрон и, высунувшись из кабины, стал крупно садить по белым. Зажогин, часто за последнее время имеющий дело с уничтожением чужой жизни, спокойно ждал пока враг приблизится на убойное расстояние. Пользуясь тихим ходом ломтевоза, белые вцепились в клепаное железо и полезли по нему, оттолкнувшись от измученных лошадей. Качающиеся на шатунах инвалиды приветствовали защитников угасающего класса отборным матом.

– Федя, нас белая вша на абордаж берет! – констатировал Бубнов, переводя оружие на рукопашный бой. – Навертим им дырок в гнилых телах!

– Ты кто таков, что приказу не подчиняешься? – спросил машиниста одноглазый кавалерист, первым проникнув в нутро ломтевоза-

– Раб мирового коммунизма! – сознательно ответил Бубнов и снес ему из обреза пол-лица. Одноглазый исчез в быстром пространстве. Двое других навалились на Зажогина, уставшего ждать врага с честной стороны. Один воткнул ему в спину аристократический кортик, другой вцепился кромсальщику в горло, не давая возможности искренне крикнуть от боли. Зажогин закричал в свое нутро и крик его, как перегретый пар в закрытом котле, утроил силы разрушаемого организма: Федор ударил одного из нападавших коленом в худой живот, а другому выстрелил в шею из обреза.

– Во что палишь, дура? – гневно спросил беляк, садясь на пол и деловито затыкая кулаком рану. Зажогин передернул затвор и развалил череп второму, впавшему в сонную задумчивость. Взбравшиеся на крышу беляки, почуввав неладное, разом выстрелили вниз. Одна из пуль незаметно впиалась Бубнову в плечо, остальные вошли в неодушевленные предметы

– Федя, стереги дверь, я сейчас! – предупредил Бубнов и рванул балансир.

Ломтевоз стал тормозить, так что искры из-под колес осветили вечернюю степь и тела белых, полетевших с крыши на рельсы.

– Эго вам не за кобылу зацепиться – техника! – одобрительно заключил Бубнов, тоже валясь на пол по объективному закону Ньютона.

Зажогина кинуло спиной на рычаги, отчего кортик еще сильнее вошел в плоть спины. Раненого беляка шваркнуло головой о балансир, и он быстро умер.

Ломтевоз остановился.

– Товарищ Бубнов, погляди, что там мне враг в спину сунул! – попросил Зажогин.

Машинист вытащил из его спины белогвардейский трофей и показал ему.

– Ишь, золотопогонники! Нет чтоб штык – по-простому! – затосковал Зажогин, и кровь, запертая ранее лезвием кортика, хлынула ему в легкие.

– Жидкость поперек горла прет! – доложил он Бубнову, кашляя. – Попрощаться не даст!

– А ты глазами попрощайся, браток! – обнял его Бубнов.

Зажогин собрался, чтобы изо всех сил посмотреть в глаза машинисту, но неожиданно посмотрел сквозь них – в неземное пространство – и умер. Бубнов поднял белогвардейскую фуражку и положил на лицо кромсальщика.

«И голос у него непролетарский, и голова ковригой, а умер, как Марат!» – сурово подумал Бубнов и спрыгнул с ломтевоза.

Вокруг в сумерках умирали покалеченные белые. Бубнов не стал их добивать, а пошел отвязывать инвалидов. Но резкое торможение погубило их тоже: проволока слишком глубоко вошла в тела привязанных, перерезав важные вены. Инвалиды умирали в полусне, поливая дымящейся кровью молчаливое железо, не поблагодарившее их за помощь.

– С кем же я победу разделю!? – осерчал Бубнов на безногих – Вы же не белой кости, чтобы так сломаться легко!

Сзади из темноты высунулась рука и приложила серп к горлу машиниста, собираясь срезать его как переросший колос.

– Отойди от ломтевоза! – приказал голос. Бубнов попятился назад – туда, где нагретая земля отдыхала от слепого солнца.

– Теперь стой! – скомандовал голос.

Бубнов остановился. Какие-то угрюмые люди подбежали к ломтевозу, покопошились и кинулись прочь. Послышалось змеиное шипение бикфордова шнура.

– Что ж вы делаете, гады? Это же народное добро! – закричал машинист голосом матери, безвозвратно теряющей ребенка.

В ответ полыхнуло напряженное пламя и куски ломтевоза полетели в степь. Бубнова и полуночников уложило волной на землю.

– Белуга недобитая! – выплюнул песок изо рта Бубнов. – От горя совсем с ума спятили, холуи врангелевские!

– Мы не белые, не кипятись! – ответили ему

– Бандиты, значит?

– И не бандиты!

– Тогда – из партии исключенные?

– Мы не красные! – настаивал голос.

– Стало быть – махновцы?

– Мы не анархисты! Анархия – новый опиум для народа: Иисус Христос с маузером!

– Да кто ж вы такие? – вконец осерчал Бубнов.

– Мы дети природы! – объяснил притемненный человек. – Против машин воюем! За полное и безоговорочное освобождение от механического труда! Ты читать умеешь?

– До революции не умел! – гордо ответил Бубнов.

– Как рассветет, я тебе свою книгу дам – «Власть машин», Там все написано. Моя фамилия Покревский. Сейчас испечем картошки, и я тебе все про машины словами расскажу

– Чего мне про машины слушать! Я с четырнадцати лет в депо обживаюсь! Все двигатели знаю!

– А сути – не ведаешь! С машинами человек к мировому счастью никогда не придет! Они его обуржуазят и рабом самого себя сделают! Какой уж тут святой коммунизм, когда за

тебя железо землю роет! Это подлость мировая! С ней воевать надо до костей! Поручим машины и ихними обломками себе в красный рай дорогу вымостим!

– А пахать – опять на кобыле?

– Не на кобыле, темный человек! На себе самих и пахать, и сеять, и скородить будем!

– Это не по мне! – зевнул уставший ехать, убивать и разговаривать Бубнов. – Я в хомут сроду не полезу! А без ломтевозов – жить не могу!

По колебанию ночного воздуха он понял, что люди переглянулись.

– Убивать будете? Тогда уж быстро валяйте – я болеть не люблю!

– Мы людей не трогаем! – ответили невидимые и скрылись.

Бубнов лег на теплую землю и заснул, Ему приснилось что-то мучительно родное и огромное, от чего нечем заслониться, что нельзя убить, забыть или похоронить и с чем невозможно навсегда слиться, а можно только любить безответной любовью сироты.

Потом это огромное и родное сжалось до сияющей водяной капли и капнуло ему на плечо.

Бубнов проснулся. Солнце стояло в зените и глупо грело землю и лежащего на ней Бубнова. Кругом лежали куски взорванного ломтевоза. Рядом с ногами машиниста валялся несожженный ломоть буржуазной плоти, так и не превратившийся в пролетарский пар.

Бубнов посмотрел на свое плечо и увидел в нем торец белогвардейской пули.

«Зацепило, все-таки! А я боялся богородицей небеременной остаться!» – весело подумал Бубнов и вытащил пулю из плеча. Черная кровь, скопившаяся под пулей, лениво потекла из раны. Бубнов поднял ломоть и приложил его к плечу. Надо было идти куда-то.

«Дойду хоть до Житной! Там телеграмму в депо отстучат: ломтевоз взорвали антимашинные люди!» – подумал Бубнов.

Он выбрался на полотно и двинулся по черным шпалам.

На ходу Бубнов думал о новом ломтевозе, который, как конь седока, где-то в темном пространстве спокойно дожидается его.

«Не буду же я теперь пехом по земле драть! – рассуждал машинист. – На ломтевозе жить интереснее. И думать медленно не надо, как во время хотьбы. Там за тебя механика думает железными мыслями».

Верст через шесть показалась Житная.

Бубнов устал от скучной хотьбы и от прижимания буржуазного мяса к раненому плечу, поэтому не пошел на станцию, а стукнул в ворота самого первого двора: воды напиться.

Ворота были не заперты. Бубнов вошел на двор. Лежащая на перегретой соломе собака сонно посмотрела на него.

– Хозяин! – позвал Бубнов.

– Чиво надо? – отозвался из сенного сарая женский голос.

– Воды попить!

– Чиво? Зайди, не слышу!

Бубнов вошел в полупустой и полутемный сарай и с трудом разглядел невероятно толстую голую женщину, лежащую на сене и лузгающую семечки.

– Воды, говорю, попить! – произнес Бубнов, удивляясь белым формам необычного человеческого существа.

– Говори громче, чего пицишь как комар! – посоветовала женщина.

Бубнов шагнул вперед, чтобы крикнуть, и провалился в глубокий, клином сужающийся погреб, вырытый не для сохранения продуктов. Очнувшись, машинист глянул наверх.

Толстая женщина внимательно смотрела на него.

– Поживи здесь, – сказала она.

– Ты что, вдовая? – спросил Бубнов, не понимая.

– Я цельная, – ответила женщина и сплюнула шелуху.

– У меня предписание. Меня люди ждут, – зашевелился на земляных комьях Бубнов.

– Покажь! – женщина бросила ему кузовок на веревке. Бубнов достал предписание, вложил в кузовок. Женщина подтянула кузовок к себе и долго читала предписание, шевеля толстыми губами.

– Ничиво! – она спрятала предписание у себя между громадных ляжек. – Спи! Я на тебя типерь часто пялиться буду!  
Дубовая крышка захлопнулась над головой Бубнова.

По шкале Витте в этом тексте 79% L-гармонии.

It's hard to believe, рипс нимада табень?

Платонова-3 инкубировали питерские чжуаньмыньцзя семь месяцев назад после двух dis-провалов, сильно подорвавших авторитет школы Файбисовича и Со. В генсреде к питерцам отношение похожее на юйван синвэй твоего чоуди Мартина на свадьбе у Саввы: бить по гаовань парализованного Илью Муромца способен каждый посредственный байчи. А Файбисович сумел доказать всем неблагородным ванам, что он не лаовай в генинге и способен не раскрасить носорога с РК.

Что и продемонстрировал живой стол Платонов-3.

Ждем от него не более 2 кг голубого сала. Места отложения – локтевые и коленные сгибы, пах, простата (sic!), защечные мешки, Ликуй, ЦИКЛОПик.

**Boris.**

**16 января.**

Все-таки военные – свиньи не только по определению.

Вчера напились с полковником (остальные потащились на охоту). И этот пеньтань шагуа *полез* ко мне. Поначалу начал издадека, как типичный фиолет:

– Борис, вы не представляете, как мне надоел запах живородящих сапог в казарме. Я забыл, как пахнет чистая мужская кожа.

Ты знаешь, я всегда волосею от такого *gazbeга*. Мои ритуальные усмешки не помогли, этот ханкун мудень двинул прямо в LOB:

– Борис, вы пробировали 3 плюс Каролина?

– Нет. И вряд ли пробирую.

– Почему?

– Я предпочитаю *чистый* мультисекс.

– Откуда такой квиетизм?

– От моего психосома, полковник.

– Вы обкрадываете себя.

– Ничуть. Просто не хочу дисгармонировать мой LV.

Пауза.

Рипс, для каждого шагуа упоминание LV – удар по темному темени. Помолчали.

Полковник глотнул «Кати Бобринской» и надолго уперся в меня *ежиньими* глазами:

– Борис, я спрашиваю не просто так.

(Будто я не DOГадался, рипс табень тудин.)

Оказывается, несмотря на свой ADAR, этот муравьед пробирует после отбоя вонючий 3 плюс Каролина. С сержантами. И еще жалуется на солдатский *запах*. Серый лянмяньпай. Как и все его поколение. Но это все – хушо бадао, мальчик мой прозрачноухий.

Чехов-3: без сюрпризов, но и без *соплей*.

Объект сильно изможден процессом и eeeeeeeеле дышит.

Почитай.

## Чехов-3 Погребение Аттиса

### драматический этюд в одном действии

Виктор Николаевич Полозов, помещик.  
Арина Борисовна Знаменская, молодая актриса.  
Сергей Леонидович Штанге, врач.  
Антон, пожилой лакей.

### I

*Часть яблоневого сада в имении Полозова. Антон роет яму меж двух старых яблонь. Вечером.*

АНТОН (*тяжело дыша* ). Господи... Иисусе Христе... помилуй нас, грешных. Это надо же такое удумать – в саду хоронить. Будто других мест нет. До чего же мы дошли, прости, Господи. А мне-то грех на старости лет. Да и барину-то стыдно... ой, как стыдно-с! Жаль, старый барин помер, а то б сказал, как бывало, – выкинь ты, Витюша, эти кардыбалеты из головы.

*Входит Знаменская с веткой сирени; на ней забрызганный грязью плащ и испанская шляпа с широкими полями.*

АНТОН. Господи, Арина Борисовна!

ЗНАМЕНСКАЯ. Ты узнал меня, Антон. Как это славно! Здравствуй.

АНТОН (*кланяется* ). Желаю здравствовать! Как же – не узнать! Как же – не узнать! (*Суетится, бросает лопату* .) Помилуйте, позвольте, я сию минуту доложу.

ЗНАМЕНСКАЯ. Не надо никому ничего докладывать.

АНТОН (торопится идти в дом). Как же! Как же!

ЗНАМЕНСКАЯ (*останавливает его* ). Постой. Я говорю – не надо.

АНТОН. Да барин ведь, поди, давно ждет вас.

ЗНАМЕНСКАЯ. Милый, хороший Антон. Меня здесь давно уже никто не ждет.

(*Осматривается* .) За два года ничего не изменилось. И дом все тот же. И сад. И даже флюгер над мезонином все такой же ржавый.

АНТОН. Да кто ж туда полезет красить-то, барыня, голубушка! Я уж в летах, а работников барин нанимать не желают-с, потому как денег нет. Уж и управляющего рассчитал, и горничную. Один я остался. Что уж тут до флюгера – крыльцо поправить не на что!

ЗНАМЕНСКАЯ. А где качели? Они висели вон на той яблоне.

АНТОН. Веревки сопрели, вот я и срезал. А барин и не заметили-с, кому ж качаться теперь? Наталья Николавна с детьми больше не приезжают. (*Спыхватывается* .) Барыня, голубушка, вы же все сзади забрызгаться изволили! Позвольте плащик!

ЗНАМЕНСКАЯ (*облокачивается на ствол яблони* ). Оставь.

АНТОН. Вы, чай, со станции?

ЗНАМЕНСКАЯ. Да. Я постою здесь немного и пойду. А ты не говори ему ничего. Слышишь?

АНТОН. Да как же это?

ЗНАМЕНСКАЯ. Ответь мне, что, он по-прежнему... (*Задумывается* .)

АНТОН. Чего изволите?

ЗНАМЕНСКАЯ. Нет, ничего. Прощай. (*Бросает ветку сирени, идет прочь, но сталкивается с Полозовым. Он во фраке и белых перчатках, держит на руках мертвую борзую собаку.* )

ПОЛОЗОВ. Арина... Арина Борисовна.

ЗНАМЕНСКАЯ (*отворачивается* ). Виктор Николаевич.

ПОЛОЗОВ (*в оцепенении* ). Я...

ЗНАМЕНСКАЯ, Простите за беспокойство.

ПОЛОЗОВ (*с трудом говорит* ). Вы... нисколько. Позвольте. Это так...

ЗНАМЕНСКАЯ. Я зашла посмотреть на ваш сад. Просто так. У вас умерла собака?

Постойте, неужели это та самая? На руках она такая маленькая.

ПОЛОЗОВ (*кладет собаку на землю* ). Я очень рад вас видеть. Это так неожиданно, но очень хорошо. Очень хорошо

ЗНАМЕНСКАЯ. Что – хорошо?

ПОЛОЗОВ. Что вы здесь.

ЗНАМЕНСКАЯ. Так странно... Когда я шла со станции через рощу, меня обогнал пьяный мужик на лошади. Голый по пояс, с какой-то механической вещью в руке, наверно отломанной от какой-то машины. Он ей стучал по стволам берез и кричал: «На постой, на постой!» Сумасшедший мужик. На какой постой? Совсем сумасшедший мужик И очень злобный.

АНТОН (*качает головой* ) Это, видать, востряковские озоруют.

ПОЛОЗОВ (*Антону* ). Поди, собери нам чаю.

АНТОН. Сию минуту, бабушка.

(*Уходит* .)

ЗНАМЕНСКАЯ (*наклоняется к собаке, гладит ее* ). Да. Это тот самый пес.

Древнегреческий, как говорила ваша сестра. А я забыла, как его звали: Ангиной? Орест? Алкид?

ПОЛОЗОВ. Аттис.

ЗНАМЕНСКАЯ. Аттис! Милый Аттис. Да-да. Я вас еще тогда спрашивала – кто это – Аттис? А вы отвечали – любовник Кибелы. Но я не знала историю Кибелы. А признаться в этом стеснялась. А теперь – вовсе не стесняюсь. Мы брали Аттиса всегда с собой на прогулки. Он был таким быстрым, красивым. А однажды кинулся трепать барана. И вы так накричали на него. Виктор Николаевич, что у вас с лицом?

ПОЛОЗОВ. Ничего. Кажется – ничего.

ЗНАМЕНСКАЯ. Скажите, это ужасно, что я здесь?

ПОЛОЗОВ. Это очень хорошо.

ЗНАМЕНСКАЯ. Я вам признаюсь – я не прочла ни одного вашего письма.

ПОЛОЗОВ. Я догадался.

ЗНАМЕНСКАЯ. Все восемнадцать писем я сожгла в камине. Это гадко, я знаю. Но мне что-то мешало их прочесть. Я очень скверная?

ПОЛОЗОВ. Арина Борисовна, пойдете в дом. Здесь сыро.

ЗНАМЕНСКАЯ. Нет, нет. Останемся, останемся. Я так любила ваш сад. В мае особенно. Помните, когда приехали Панины? И вы с Иваном Ивановичем стреляли по бутылкам. А вечером мы катались на лодке. И Кадашевский упал в воду. А на следующее утро все яблони зацвели. Все сразу И вы сказали, что это оттого, что я здесь. А Панин сказал, что это к войне.

ПОЛОЗОВ. Да... припоминаю.

ЗНАМЕНСКАЯ. Но войны не случилось. Только в Коноплеве мужик зарубил свою семью.

ПОЛОЗОВ. Это я тоже помню (*берет ее за руку* ). Пойдете в дом. Вам надо отдохнуть и прийти в себя.

ЗНАМЕНСКАЯ (*смотрит на мертвую собаку* ). Странно все-таки.

ПОЛОЗОВ. Что?

ЗНАМЕНСКАЯ. Мертвые собаки похожи на живых собак. А мертвые люди вовсе не похожи на живых. Когда я хоронила своего отца, я знала, что это не он лежит в гробу, а совсем другой человек. Поэтому я до сих пор не верю, что мой отец умер. Он жив. Да и вообще, то, что лежало в гробу, не было похоже на человека. Вы не согласны?

ПОЛОЗОВ. Да-да. Вы правы. Хотя...

ЗНАМЕНСКАЯ. Что?

ПОЛОЗОВ. Вон отсюда!

ЗНАМЕНСКАЯ (*непонимающе смотрит на него*). Что?

ПОЛОЗОВ (*кричит*). Вон отсюда! Вон! Сейчас же – вон!

*Знаменская делает два шага назад, неотрывно глядя ему в лицо, затем поворачивается и убегает. Появляется Антон.*

АНТОН, Звали, барин?

ПОЛОЗОВ. Нет... то-есть – да. Помогите мне. (*Берет пса на руки и осторожно опускает в яму.*)

АНТОН. А что же Арина Борисовна? Чай пить пойдут-с? Я накрыл уж.

ПОЛОЗОВ. Помолчи (*смотрит на мертвого пса, кидает на него горсть земли*).

Закапывай.

*Антон сваливает землю в яму.*

ПОЛОЗОВ. Семь лет. Всего семь лет. Для дворовой собаки это – ничто. А для борзой – срок жизни.

АНТОН. Как же! У борзых-то вся жизнь на бегу Продоху нет. А пес славный был. По ладам-то чистый, густопсовый. А разметной-то! Страсть! Так и стелется, так и стелется! Заглядишься, бывало. Ваш покойный батюшка, бывало, говаривал, – у нашего Атгиса щипец, что у крокодила – зайца пополам перекусит. Сорок три лисицы затравил. Вот дела какие.

*Полозов медленно бредет к дому.*

## II

*Гостиная в доме Полозова; Виктор Николаевич сидит в кресле и курит сигару; подле него – китайский чайный столик, накрытый на двоих; с краю стоит графин с водкой. Входит Антон с тарелкой соленых огурцов.*

АНТОН. Вот, батюшка, все, что есть. А каперцы у нас еще на Крещение кончились. Какие уж тут каперцы, коли скоро хлеба купить не на что будет.

ПОЛОЗОВ. Ступай.

АНТОН (*ставит огурцы на столик, прижимает руки к груди*). Батюшка барин, помилосердствуйте! Что же вы такое с собой творите?

ПОЛОЗОВ. Ступай.

АНТОН. У меня сердце кровью обливается, гляючи! Я же вас с пеленочек знаю! Как же так, Господи Иисусе Христе! Почто вы себя эдак губить изволите-с?

ПОЛОЗОВ. Ступай!

АНТОН. Да иду, иду уж. Господи! Пропадем ни за грош... (*Выходит.*)

*В полуоткрытое окно просовывается трость и открывает его. Показывается голова Штанге.*

ШТАНГЕ. Виктор Николаич, мамочка, приветствую!

У тебя, брат, ворота настежь! Сразу видать широкую натуру! Ты прости, мамочка, я уж через окно, по-флибустьерски! (влезает в окно; на нем нанковая тройка, белая шляпа, в руках трость и кулек с бутылкой мадеры.) Ну, здравствуй, мамочка!

*Полозов, не вставая, подает ему руку.*

ШТАНГЕ. Что это ты – чай огурцами закусываешь? (*Замечает графин с водкой*) А, pardon, водка! Прелестно! А я к тебе тоже с питейным трофеем! (*Ставит на стол бутылку мадеры.*) Ein Geschenk, mein lieber Freund! Крымскую мадеру я предпочитаю испанской. Ты один?

ПОЛОЗОВ. Один.

ШТАНГЕ. Что такой пасмурный? Случилось что?

ПОЛОЗОВ. Атгис умер.

ШТАНГЕ. Исдох? Ай-яй-яй. Жаль. Славный пес был Помнишь, как по осени тогда? Ату, ату! Жаль, черт возьми. Искренне жаль. (*Садится.* ) Угости-ка, брат, сигаркой.

*Полозов молча открывает пустую коробку из-под сигар, показывает ему.*

ШТАНГЕ. Вышли все? Черт с ними. (*Оживленно.* ) Ну, мамочка моя, я тебе доложу – Крым весной, это такое безэ, такая прелесть! Мы по-глупости туда все осенью, да зимой норовим, а весной здесь родную грязь месим. А ты съезди в Ялту в апреле – другим индивидуумом вернешься. Чудо, просто чудо. Все цветет, тепло, сухо, воздух специально для наших бронхов. По набережной дамы прогуливаются. И весьма недурственные.

*Полозов молча смотрит на Штанге.*

ШТАНГЕ. Что?

ПОЛОЗОВ. Ничего. (*Пауза.* )

ШТАНГЕ. Я глупости говорю?

*Полозов молча курит.*

ШТАНГЕ. Давай водки выпьем. (*Наполняет рюмки.* ) Крымский воздух. Опьяняет и оглушает. Там все как-то мягко, красиво. Иногда даже – приторно. Я не любитель десерта, ты знаешь, но в Крыму вдруг начинаю играть этакого метафизического сладкоешку.

Гипероптимиста с позитивистским флером. И поверь – нахожу в этом удовольствии. Prosit! (*Выпивает.* ) А вернешься к родным осинам, опять тоска наваливается, да все это вместе

– грязь, гадость и скука. Впряжешься в работу – и вперед, птица-тройка! (*Пауза.* ) Что ты так смотришь? Я околесицу несую? (*Усмехается.* ) Завтра мне директора банка резать.

Представляешь, мамочка, банкир и вдруг – грыжа! С чего бы это у банкира грыжа? Что он – на ассигнациях надорвался?

ПОЛОЗОВ (*выпивает свою водку* ). Сейчас здесь была Арина Борисовна.

ШТАНГЕ. Знаменская? Скажи на милость! Я слышал, у нее был бенефис. Она не осталась?

ПОЛОЗОВ. Я ее выгнал.

ШТАНГЕ. Ты с ума сошел, мамочка.

ПОЛОЗОВ. Я ее выгнал, А сейчас хочу выгнать тебя. (*Пауза.* )

ШТАНГЕ. Выгони, сделай одолжение. Но, может сперва выпьем? (*Наполняет рюмки.*

*Полозов мрачно смотрит на него.* )

ШТАНГЕ (*ставит рюмку, не выпив* ). Послушай, ты из-за нее так разлимонился? Я тебе давно говорил – сия особа твоих чувств не стоит. Помнишь, наш давнишний спор? Кто прав оказался? Не связывайся с актрисами, не порть себе кровь. У меня были две актрисы – в Тамбове и в Одессе, две истории буйного помешательства. Забудь ее, забудь совсем и навсегда, как друг советую! Давай лучше сегодня подопьем, а завтра я тебя к Ивашевым свожу Ты у них поди лет семь не был? Напрасно! Там теперь все переменялось, заправляет всем Нина Львовна, а следовательно – по четвергам литературные вечера, со всеми вытекающими, так сказать. Собирается приличная публика, есть очень неглупые люди, Поедем, поедem обязательно! Проветришь мозги, мамочка. Нельзя гнить заживо в сорок лет. Ну, давай, брат, пить! За твое здоровье, потом за мое, потом за наше.

(*Поднимает рюмку, но опять ставит ее на столик.* ) О, mein Gott! Я осел. Это же ты из-за дома куксишься, право – из-за дома! А я, телятина, запамятовал! Ну так, мамочка, ты сам виноват. Что ты уцепился за этот дом, как Плюшкин? У нас в губернии нынче все именная заложены-перезаложены! У кого из помещиков теперь деньги водятся? Разве что у Ряжского. Ну так он – альфонс, это каждая собака знает. По правде сказать – в России нынче нельзя ничего иметь недвижимого. Я вон всю жизнь по чужим квартирам, а счастливее тебя – omnia mea mesum porto! Это родовое гнездо тебе как хомут на шее, право. Заложит, заложит, умоляю тебя. А сейчас – выпей со мной на счастье. (*Выпивает, бросает рюмку об пол.* ) Вот так!

*Полозов выпивает, ставит пустую рюмку на столик. Штанге хватает ее и кидает об пол.*

ШТАНГЕ. Поцелуемся, брат! (*Целует Полозова, возбужденно прохаживается по гостиной.* ) Все, все продать! И как можно скорее! Всю эту рухлядь, весь этот тлен и мусор гробовой. Ваза китайская, чучело акулы, эти кубки хрустальные – на кой черт они тебе?! (*Подходит к коллекции холодного оружия, развешенного на стене.* ) Разве что это оставить. (*Трогает.* ) Мачете, наваха, кинжал дамасский... а это что? (*Берет нож с короткой металлической рукояткой в виде креста.* )

ПОЛОЗОВ, Мексиканский метательный нож.

ШТАНГЕ. Значит его метать надо? Позволь, брат, я метну

ПОЛОЗОВ. Метни. (*Пьет.* )

ШТАНГЕ. Во что изволишь?

ПОЛОЗОВ. Во что угодно.

Штанге кидает в дверь, но неудачно – нож падает на пол.

ШТАНГЕ. Из ружья у меня лучше получается. Когда на тягу пойдем?

ПОЛОЗОВ. Когда-нибудь. (*Поднимает нож с пола, разглядывает его.* )

ШТАНГЕ. Да-да. На тягу. Непременно на тягу Слава Богу, просека еще не заросла.

(*Садится за рояль, берет несколько аккордов.* ) Рояль тоже продай... На тетеревиный ток я уж опоздал. А ты без меня ходил?

ПОЛОЗОВ. Ходил.

ШТАНГЕ. Скольких срезал?

ПОЛОЗОВ. Ни одного.

ШТАНГЕ. Вот, мамочка, а все потому, что без меня ходил! А стреляешь в три раза лучше моего! (*Наигрывает на рояле.* ) Басы у тебя дребезжат как в бочке. Так и не подтянули? Хотя, ты же, брат, не играешь?

ПОЛОЗОВ. Не играю.

ШТАНГЕ (*напевает под собственный аккомпанемент.* ). Не игра-а-ю, не игра-а-ю, не игра-а-а-а-ю. Послушай, я не спросил – отчего твой Аттис исдох?

*Полозов смотрит на Штанге, потом вдруг с силой метает в него нож. Нож по самую рукоять впиивается Сергею Леонидовичу в левый бок. Штанге на мгновенье замирает, словно прислушиваясь к чему-то, затем медленно встает, смотрит на Полозова, открывает рот и замертво падает на ковер.*

АНТОН (*осторожно приотворяет дверь.* ). Звали, батюшка?

ПОЛОЗОВ. Нет. Ступай.

*Антон закрывает дверь. Полозов подходит к мертвому Штанге, садится подле него на ковер, долго сидит, глядя на убитого.*

ПОЛОЗОВ. Я хочу что-то рассказать тебе. Собственно, я еще никому не рассказывал об этом. Поэтому мне трудно говорить. Очень трудно. Это произошло совсем недавно. Даже очень недавно. Минуты три или четыре тому назад. Хотя, думал об этом я очень давно, лет с шестнадцати. Но открылось это сегодня. Сейчас. В тот самый момент, когда ты стоял посередине гостиной и перечислял находящиеся в ней вещи. Даже не перечислял, а называл их: китайскую вазу, чучело акулы, горку с хрусталем, коллекцию ножей, рояль. Ты стоял свободно, говорил несколько насмешливо, довольно легкомысленно, как часто у тебя выходило, но... (*пауза* ) ты не представляешь каким серьезным делом занимался ты в эту минуту. Ты называл *имена* вещей. И все вещи соответствовали своим именам. И это потрясло меня, как гром. Да! Все вещи соответствуют своим именам. Китайская ваза была, есть и будет китайской вазой. Хрусталь навсегда останется хрусталем и будет им, когда Луна упадет на Землю. Ты стоял посреди мертвых вещей – живой, теплокровный человек – и ты один не соответствовал своему имени. И дело вовсе не в свойствах твоей души, не в твоей порядочности или безнравственности, честности или лживости, не в добре и зле, наполняющими тебя. Просто у тебя не было *имени* . Как и у нас всех. У человека нет имени. Сергей Леонидович Штанге, господин доктор, homo sapiens, мыслящее животное, образ и подобие Божие, – это все не имена. Это всего лишь названия. А имени нет. И не

будет. (Пауза. Полозов встает с пола, садится в кресло, сидит некоторое время. ) Антон.  
Антон! Антон!! Антон!!!

**Занавес медленно опускается.**

Что-то есть в этом скрипте М-неприятное, рипс табень.

Не могу понять – что?

Когда вернусь (прости за хушо бадао), спрошу у тебя понежнее – маленький мой сяотоу, что М-неприятного в тексте Чехова-3? А ты, рипс шагуа, ответишь как всегда вопросом на вопрос – а что L-приятного в нем? И я, Boris, не дам тебе ответа.

**17 января.**

Набоков-7.

Это ВЫСШЕЕ. И не только из-за высокого процента соответствия. Высшее по определению. Во время процесса объект вел себя чудовищно агрессивно: стол, стул и кровать он превратил в щепы, стилос сожрал, егегеп-объект (норковую шубу в меду) разодрал на клочья и приклеил их к стенам (используя в качестве клея собственный кал). Ты спросишь – чем же писал этот монстр? Щепкой от стола, которую он макал в свою левую руку, как в *чернильницу* (старрус). Таким образом, весь текст писан кровью. Что, к сожалению, не получилось у оригинала.

**Набоков-7**

**Путем Кордосо**

Все счастливые семьи несчастны одинаково, каждая несчастливая семья счастлива по-своему. Все началось с обыкновенного карандаша. Синий карандаш за двадцать пфеннингов торчал из сухой, как фраза берлинского почтмейстера, руки Александра; один конец был заточен, другой безжалостно обмотан бинтом, и Светлана, пропитав его дешевым коньяком, прикладывала на ночь к своим соскам. Она делала это поздно вечером, процедура затягивалась и превращалась в подозрительный ритуал. Светлана сидела на подоконнике большого окна с голландским переплетом, смотрела в ночной сад, держа карандаш чаще у левой груди. Лунный свет беспрепятственно тек по ее слишком покатым плечам, скользил по слишком тонкой шее, по бесстыдно прямой спине, щадя лишь смутные овалы впадин ключиц. Светлана понимала, что она делает, но не осознавала всю меру ответственности за содеянное. Недаром, разбудив утром Александра быстрыми, почти истеричными поцелуями, она показывала ему свою правую ладонь, затем кошачьим движением вытягивала из-под розовой подушки серебряную орднунг-бокс Штайнмайера, плоскую, как шутка лифтера, но начищенную, словно пряжка ефрейтора. Потягиваясь и музыкально хрустя суставами, Александр усаживался на теплую кровать, открывал орднунг-бокс и осторожно, чтобы не пролить трансформаторное масло, вынимал полоску алюминиевой фольги. Светлана держала наготове полотенце. Хищно промакнув фольгу, Александр прижимал ее ко бледному лбу жены и не менее хищно накрывал плисовым платком. Светлана вглядывалась в потрескавшийся потолок и бессмысленно улыбалась. В свои двадцать два года она была мудрой женщиной, исповедующей в отношениях с полнеющими мужчинами два железных принципа: встречаться только после предварительного соблезия и брать деньги непременно до накачивания больших камнерезов. Александр почти соответствовал ее идеалу латентного мужа, хотя за шесть месяцев совместного существования она так и не привыкла к его ритуальным мешкам, ржавые пятна от которых давали ей повод для колкостей и упреков, вызывавших у нее

снежную лавину истерики. «Я ем только белое мясо!» – кричала она ему, наклоняясь вперед до хруста в позвоночнике и касаясь узким подбородком края серебряного блюда, полного простат юношей, запеченных под тертым сыром и нещадно спрыснутых лимоном. Александр разочарованно кашлял и поспешно накрывал блюдо бригадовой салфеткой. Большинство знакомых откровенно осуждали их двусмысленный союз, считая его мизальянсом, и лишь Лука Вадимович, с его ежеминутной готовностью рубить головы невидимым запорожцам, слепо поддерживал выбор Светланы. «Опристи прэтт, дорогая!» – повторял он, жмурясь и нюхая. Светлана любила целовать его вялую старческую руку, напоминавшую ей о сонном детстве в Торжке, о кудрявом Николае, просверлившим в тачке 126 отверстий и каждое утро полирующим их дождевыми червями, о прыжках через спеленутого и жалобно хрипящего Борла, о нашпигованных жаканами березах, о лунном блиндаже и конечно же – о первой встрече с Коломбиной. Отдавая Александру свое переспелое тело, она вспоминала проворный язычок Коломбины, ее тонкие пальцы обрушивалась на Светлану. «Почему ты не делаешь боковую вставку? – спрашивал Александр, надевая на член сандаловый чехол. – Отчего я давно уже лишен удовольствия созерцать Ороламу?» Светлана молча отводила медвежьи глаза и шла в Белый зал, где на резном столе-поступателе покоился торс Штайнмайера. Она рассеянно смотрела на пятна тления, шрамы и следы от побоев, покрывающие торс, поднималась по нефритовым ступеням, присаживалась и, склонив голову, следила как густая сперма Александра, покидая ее влагалище, сочно падает на грудь торса. «Запустить в него мышей или ласточек? – думала она, впиваясь ногтями в свои подозрительно округлые колени. – Амбарные мышцы вряд ли приживутся, а доставать перламутровых – морока. Запущу лучше ласточек. Ширина грудной клетки позволяет». Александр не одобрял ее увлечение стекорой. «Ты лишний раз даешь повод сплетникам, – говорил он. – Пойми, дорогая, мы рождены для опосредованных прикосновений. Наши чувства это всего лишь элементарные геометрические фигуры, вырезанные из спрессованных костей предков и погруженные в аквариум с розовым маслом. И поверь моему сенсорному опыту, в этом аквариуме способно обитать только одно живое существо – головоногий моллюск с портативным кислородным аппаратом, осознавший разницу между водой и розовым маслом как достаточную необходимость. Он обречен совершать плавные круги вокруг шара, куба и пирамиды, мимикрируя и блезиась. Его обоженная сущность подражает фигурам, как мы подражаем его подражанию». – «Но почему нам нечего терять?» – спрашивала Светлана. «Нам нечего терять, ангел мой, оттого, что все свое сознательное существование мы преобредали не феномены, а ноумены», – отвечал он, и Светлана на время успокаивалась. Супружеское бытие их протекало синусоидально, подчас с навязчивой рекуррентностью, впрочем, которая раздражала только непосвященных. По средам и субботам Александр ездил в присутствие. Служба, как хорошо просушенная колода мясника, не слишком отягощала его, но, будучи человеком принципа, он отдавался ей целиком, забывая не только Светлану, но и орднунг-бокс Штайнмайера. «Если я твердо уверен в чем-либо, бонрое для меня вовсе не существует, следовательно я могу совмещать несовместимое», – говорил он Самсону, и тот непонимающе кивал. Сослуживцы любили Александра за прямодушие и нелицеприятность, хотя его титановые протезы последней модели, а так же усыпанный прыщами бриллиантов подлокотник вызывали у них вспышки беспричинного гнева. Плюясь и рыдая, они натягивали волосяные перчатки, связанные, промасленные и пронумерованные расстрелянным Людвигом Фаркони, срывали пломбы с опечатанной ванны, зачерпывали пригоршни жидкого стекла и изо всех сил метали в дряблые бедра старика Шварца, еле успевающего обнажаться. «Я возьму целое!» – визжал побагровевший Самсон. «В день Святого Валентина мы зальем ртуть в наперстки!» – угрожал Тиберий Иванович. «Двенадцать!» – рычал тапироподобный Гашек. Шварц не успевал орудовать казенными скребками. Александр все переносил спокойно. «Господа, я всегда на стороне слабого. *Voila le premier acte*», – говорил он, обтирая золотые кирпичи. Начальство его побаивалось, но ценило. Спиравленко, этот

грузный ороламыстый мужлан, увешанный, как рождественская елка, орденами и фистулами, вызывая Александра к себе в кабинет, часами ездил вдоль витражей, звеня рельсами и бухая противовесом, прежде чем начать беседу. Александр молча ждал, вставив указательные пальцы в мясные шкатулки. «Вы не отдаете себе отчет, Кордосо», – произносил наконец Спиравленко, останавливаясь и усмерствуя. «Я отдаю себе отчет, Гордон Жакович», – с зубодробительной твердостью отвечал Александр и, освободив пальцы, показывал, как он отдает отчет. Спиравленко пыхтел, краснел, седел, болел, потел, смердел, но вскоре отпускал его с миром. Когда Александр выезжал из его кабинета на новеньком гобте, сослуживцы завистливо показывали ему припудренные гениталии. «Везет вам, Кордосо!» – угрюмо подтирался Самсон. «Везет всегда сильному!» – парировал Александр, застегивая березовый корсет и направляясь в столовую. Домой он возвращался сильно за полночь, когда чернильные тени до костей разъедали туши агонизирующих бездомных коров. Светлана всегда ждала его в предспальной, напрезвившись и погрузив свои ступни в вазу с хорьковым паштетом. «Умораб пришел!» – кричал он ей из прихожей. «Изаберия ждет своего Умораба!» – пела Светлана, опрокидываясь на болгарские потроха. Переоблачившись в мужскую кожу, свежесодранную слугой Афанасием с очередного донора-добровольца, Александр вползал в предспальную. «Что возжелает геобноробидный Умораб?» – спрашивала Светлана, перебирая потроха узловатыми пальцами, унизанными марсельскими кольцами для выбивания медуз. «Умораб жаждет истошного!» – скрипел зубами Александр. Светлана начинала целовать свои колени. Через 28 секунд Александр крепко спал, уткнувшись лицом в хорьковый паштет. По понедельникам и пятницам они выезжали поужинать в белорусский ресторан «Сапфирий». Швейцар и официанты встречали их как родных: Александра принимались бить уже в прихожей, Светлане давали войти в зал и там набрасывались на нее. Ему, как настоящему мужчине, доставались увесистые тумачи, ее же награждали звучными пощечинами, от которых немело лицо и долго ныли предплечья. Усаживаясь за стол N18, Светлана немедленно прикладывала к лицу легкое банкира. «Сегодня они, признаться, в неважной форме», – разочарованно стонал Александр, залезая в бирут и истерично требуя меню. Супруги никогда не изменяли своим гастрономическим предпочтениям, заказывая неизменное Токийское 1889 года, салат из болотных трав, корни зубов мудрости престарелых пролетариев, маренго из болонок, пархацию с жабьей икрой, мениски футболистов белорусской 3-ей лиги под рвотными массажами. На десерт Светлана брала горный хрусталь со взбитой бычьей слюной или «Укрывище». Насытившись, они перемещались в инкрустированную рубанками дарохранительницу, минут сорок протирали призмы и топтали хомяков, затем скатывались по сальному желобу в гардероб. «Степень предназначения!» – улыбался Александр. «Копье! Да шестьдесят вторые!» – рыдала от удовольствия Светлана. Домой они возвращались под утро. И все было бы благополучно в их совместном существовании, все продолжалось бы стерно и обредно, жизнь супругов проскользила бы по сальному желобу под счастливый хохот и деликатный визг до самой гробовой машины, не захоти Светлана ребенка. Поначалу она говорила о нем исподволь, невзначай, вскользь, впопыхах, вполголоса, между делом, походя, полупонамеком, полупушутя, полусерьезно, полугронежно. Но с каждым днем разговоры эти обретали все более угрожающий смысл, обрастая реальностью, как обрастают дымящейся плотью желтые скелеты, вылезшие в полночь из могил заброшенного цыганского кладбища, вставшие в круг и с трудом поднявшие вверх поросший белым мхом тысячелетний мраморный тор с еле заметными отверстиями, чтобы весенний ветер выдавил из мраморного горла тора звук вечного возвращения. «Это необходимо нам как воздух, как вода, как горсть твоего черного порошка, – повторяла Светлана, покрывая плечи мужа молниеносными уколами раскаленной иглы. – Если мы жембраимся, стоэмир никогда не простит нам этого!» Александр сперва отмалчивался, отмахивался, отнекивался, отшучивался, пропускал мимо ушей, не принимал близко к сердцу, не брал в голову, не обращал внимания, игнорировал, делал вид, что не понимает о чем, собственно,

идет речь. Но жена оказалась до заворота кишок настойчива: прошли всего три недели, а белый резиновый шланг уже покоился в кастрюле с липовым медом, в то время как твидовое платье Александра пронизали сотни новых градусников. Последний бастион Александра – уритко – рухнул еще через неделю, после того как Светлана выварила в козьем молоке дубовый стол мужа и наполнила ящики слоновьим пометом. «Хорошо. Поступай, как знаешь, – расправил сухожилия Александр. – Но предупреждаю тебя – я приму в этом активное участие, так как идея не моя». – «Милый, я ничего не пожалею для сочного счастья!» – заверила в меру отекая супруга, разорвала себе кожу на левом виске, облачилась в первоклассно замороженные желатиновые доспехи и поспешила в МОООРЗ. «Жебраим, жебраим, жебраим», – мечтательно рычала она, несясь по заваленной трупами улице. Оставшись на 14 часов в одиночестве, Александр предался размышлению. «Безусловно, я обязан понять и принять ее порыв, – думал он, расположившись с молоком и червями в тихой и затемненной горлорезной. – Она женщина, она хочет быть матерью, хочет тербить и двигать, считать и печатать. Ей не терпится испытать то архаическое чувство материнства, что заставляет женщин обезжиривать свои кости, стрелять в темноте, плакать на телеграфные столбы, сосать морскую гальку, дробить и стомлобствовать. Но способен ли я распилить пополам камень ее чувства? Достаточно ли у меня сил, надфилей и берестяных чемоданов? Смогу ли я всю ночь напролет бросать в окно второго этажа укоризненные взгляды? Надавливать сапогом на гнилую часть эвкалипта? Пропускать электроток через собаку? Сниться своей теще, а затем теще ближайшего друга? Рыть неглубокие ямы? Гуманно убивать майских жуков? Тербить и двигать?» И чем больше вопросов задавал он себе, тем все тоньше и рельефней становилась платиновая корка, покрывающая розовый клубень его уверенности. Прошло время. Хлебные часы промяли 5.45 утра. Дверь горлорезной бесшумно отворилась, вошли резники с утренней жертвой и, поклонившись Александру, приступили к делу Один прижал к жертвенному рукомоЙнику бритоголового японского юношу, другой кривым туркменским ножом вспорол ему горло. Но если раньше этот хорошо знакомый с детства ритуал всегда успокаивал Александра, навевая сон и благодущие, то сейчас горлорезанье подействовало на него неожиданно возбуждающе. Когда резники стали выдавливать своими грузными телами кровь из агонизирующего японца, Александр вскочил, подбежал и со всего маху поцеловал собственную ладонь. Резники испуганно покосились на него. Когда они вышли, он опустил руки в теплую кровь. «Я должен, – сосредоточенно думал он, – Должен как муж, должен как монада». Омовение придало ему силы. Подпрыгнув, он проломил головой потолочную балку. Светлана вернулась радостная, с ворохом смешных мортелл. «Сегодня!» – закричала она в безволосую грудь Александра. «Я готов, недорогая!» – набычился и ознезил Александр. Зачатие проводили в полдень. Светлана убрала спальню бинтами и заусенцами. Муж мучил ее долго, набрасываясь со стеклярусом и отступая с домашней выпечкой. «Хохореп, хохореп, хохореп!» – пела она, активно мешая ему. «Сислов! Сислов! Сислов!» – ревел Александр, изо всех сил стараясь потеть. Слуга Афанасий ловко подмахивал им. Часов через восемь Александра вырвало спермой на прорезиненную простынь. «Слишком кесси, обродо...» – забормотала побледневшая Светлана, подтягиваясь на пальпотивной веревке и вибрируя торсом. Афанасий умело запикивал в нее сперму Александра. «Ровней, скотина!» – вдруг закричала она, обрушив на оторопелое лицо слуги лавину слюнявых поцелуев. «Фердинанд носовой...» – выдохнул Александр, погружаясь в неглубокий сон. Запечатав влагалище ореховой вязью, Светлана поспешила в инкубатор. Через девять месяцев шерстяного безмолвия, напоминающего профиль молодого Рузвельта, они встретились в детской. Муж приветствовал жену розами, медовым нарезом, сушеным выменем, колуном, цветом и перхотью, приподнесенными со свойственным ему остервенением. «Я чудовищно соскучился, недорогая дорогая! – истерично захохотал он и заскрежетал зубами от зависти. – Я боготворю тебя, гадина!» Светлана с трудом сдерживала равнодушие, чувствуя подступающий приступ випра. «Не помогай мне?» – спросила она. «Я буду

пререкаться!» – хохотал и плакал Александр. «Не помогай мне?» – повторила она, прижимаясь к нему. «Наполни молоком!» – изгибался он. «Не помогай мне!» – выпрямилась Светлана и тотчас родила. Александра обдало чужой жизнью. «Покружи его, покружи!» – завизжала Светлана, едва справляясь с вылезшими кишками. Афанасий принялся кружить ребенка. «А часы?» – обнажил протезы Александр. «Снова лок!» – хохотала Светлана, подпрыгивая и фикорясь. Афанасий свистел в пупок ребенка среднерусским посвистом, тер ему запястья, дул в позвоночник. Ребенок рос прямо на глазах. «Он хочет меня!» – разочарованно усмехнулась Светлана, опрокидываясь навзничь. Александр кинулся помогать, не щадя ногтей. Афанасий бросился за клюшкой. «Звезды!» – взвизгнула Светлана, с хрустом обнимая сына. Афанасий взмахнул клюшкой. От удара палево-изумрудный берег реки, нависавший над жирной водой горбатой великаншей, треснул и стал медленно и страшно рушиться вниз. Проворные руки Светланы вошли в тело ребенка. Афанасий хохотал, тщательно подмигивая своей тени. Ветер нес мельчайшие куски мозга Александра над вечерним полем.

Хочу спать, рипс.

Жаль, что здесь нет гипероновых подушек.

Цени то, что имеешь, мальчик мой, не будь кэбиди лянмяньпай.

Наступит время, когда никакой мошущзя не спасет тебя от потерь и разочарований. Помни «Дао дэ цзин»: «Я бережлив, поэтому могу быть щедрым». Великий Лао писал это о любви, я уверен, рипс лаовай.

В наше сомнительное время очень просто раскрасить носорога. Гораздо сложнее вылепить солдатика из простатного гноя и остаться этически вменяемым существом.

Ярких снов тебе, дитя необычной нежности.

И *тихих* мыслей о моей простате.

Я боюсь.

## **Boris.**

P.S. Потрясающий сон! Давно так не СМЕялся: я в плюс-плюс-директе, океан, огромный айсберг из голубого сала. По нему, как *блохи* (старрус.), прыгают наши 7 объектов.

Длинные затяжные прыжки с долгим зависанием в воздухе. Они ищут, ищут друг друга. (Слепые?) Наконец, находят: **о I о** у всех (кроме Ахматовой-2) встают. Набоков пронзает Платонова, Платонов – Чехова, Чехов – Пастернака, Пастернак – Достоевского, Достоевский – Толстого, а тот, рыдая, – Ахматову. А она, L-позитно хохоча и dis-активно визжа, раскрывает свою мокрую раковину и писает на голубую кожу айсберга. И ее моча размывает голубое сало. Словно это простой лед.

Как? 88% L-гармонии.

Спать дальше!

## **18 января.**

Пастернак-1.

Даю без комментариев. Потом узнаешь почему.

Сегодня *невероятная* погода, никогда в жизни не видел такой: бледно-голубое, плюс-директно высокое небо с еле заметным изумрудным оттенком на западе, ослепительно холодное солнце, потрясающая видимость.

И –32°C.

Но. Несмотря на мороз дышится легко. Вышел ненадолго пострелять белых рябчиков. Сержант Прут объяснил мне как пользоваться «Циклопом-238 МС», Убойная штука, доложу тебе: мало того, что в прицел видно все как на ладони, оказывается, можно еще и регулировать силу заряда.

Начал с обыкновенной бессловесной пули, а закончил... бедные рябчики и вековая сосна, приютившая их.

Подошел – не поверил: щепки и белые перья на белом снегу. «Циклопом» можно спокойно прорубить просеку в нашей тайге до океана. А там угнать вонючий китайский флайер и долететь до твоих острых лопаток.

## **Пастернак-1**

### **Пизда**

Взошла пизда полей  
В распахнутом пространстве –  
Пизда поводырей,  
Печаль непостоянства.

Высокое зенит  
Над замершей землей,  
Он в воздухе звенит  
Консолью неземною.

Но час пизды лесов  
Нависшей бомбой страшен,  
Сурьямой кровью сов  
Ольховый лист окрашен.

С пиздою темных рек  
Столкнулся мир спокойный,  
Пизда немых калек  
Сменить ее достойна.

Пиздою диких псов  
Она неспешно станет,  
Тугую завязь снов  
Лучом тяжелым ранит.

В пизде подробных гор  
Движенья ужас ожил,  
Долин слепой простор  
Лавиной потревожил.

Уставший слушать бор  
Пиздой гнилых скворешен,  
Как рыцаря убор,  
На крепости подвешен.

Растет пизда домов,  
Дворов и переулков,  
Пизда литых мостов

И виадуков гулких.

Задумалась пизда  
Полуприкрытых ставен,  
Ее узор всегда  
Тяжел и музыкален.

Рояль, как антрацит,  
Застыл пиздою черной.  
Он в сумраке блестит  
Плутроном непокорным.

Огонь какой пизды  
Проступит новой раной?  
От лезвия звезды  
Он ускользнет, упрямый.

Взойдет пизда путей,  
Раскроются бутоны,  
Нет места для гостей,  
Все полночи – бессонны.

Пизда больных ветров,  
Оплавленных огарков,  
Распиленных дубов  
Пиздой накрытых парков.

P.S. Ты знаешь, я терпеть ненавижу русмат. Поэтому и не комментирую. Но что замечательно – Пастернак-1 – единственный из семи совершенно не изменившийся и не притронувшийся ни к интерьеру, ни к еггеген-объекту. Его тело лемура со спокойным благообразием выполнило скрипт-процесс, свернулось в белый клубок и впало в анабиоз. Что это значит, рипс нимада табень? Смотрел дважды по следам и по микрополям – все чисто. Пока не понимаю. Поэтому этот текст мне особенно близок. Попросил полупьяного ефр. Неделина выбрать самого большого клон-голубка. Он уже гремит замком голубятни – и через пару минут пернатый монстр с этой капсулой в желудке полетит к тебе. Пожелай ему попутного ветра, рипс нинь хао.

**Boris.**

**20 января.**

Сегодня наступил *красный* день, которого я мучительно ждал с самого приезда.  
ПРОСТАТА.

Воспылала, несмотря на жир ящерицы да-бйид. И несмотря на «Пять Хороших». Во времена Ивана Грозного сажали не только на быстрый кол (смазанный бараньим салом), но и на медленный (сухой осиновый).

Если в первую ночь здесь я посидел на быстром, то теперь равнодушный и прекрасный Космос пересадил меня на медленный.

Боль такая, что я (о ужас!) думаю об обезболивающем. покоящемся в желтых аптечках наших вояк.

Я старый и слабый байчи, раб своего гунмынь. Последняя надежда – прижигания.

Попробую через полчаса.

История с последним объектом – Толстым-4 отвлекает ненадолго от проклятой боли. Не знаю почему, но только этот случай из всех семи вызывает у меня спазм беспричинного смеха. Я смеюсь и сажусь на свои ладони, чувствуя свой *красный* ванвэй.

Толстой-4 весь процесс проплакал. Он писал и плакал, писал и плакал. К егеген-объекту он не прикоснулся вовсе. Зато сжевал стекла у двух керосиновых ламп, в результате чего они быстро выгорели и погасли. Хотя освещение его ничуть не беспокоило: он писал в темноте. Громадные веки его полиловели от потоков слез, фиолетовый нос напоминает клубень батата. В накопительный анабиоз он впал, стоя в углу и рыдая. В таком положении он застыл памятником самому себе.

Я жду от него не менее восьми (!) кг голубого сала.

## Толстой-4

## ХИ

Сильные морозы, простоявшие с самого Рождества, отпустили скованную ими землю только к февралю.

Старый князь Михаил Саввич, проведший всю зиму в Поспелове, узнал про дуэль Бориса слишком поздно, когда рана сына уже затянулась, а вместе с нею затянулась и покрылась коркою вся история ссоры с Несвицким. Старик Арзамасов принадлежал к той редкой и ныне вымирающей породе светских львов, которые после десятилетий бессмысленного растрачивания душевных сил, к преклонным годам вдруг начинают задумываться над своей бесполезной и пустой жизнью, не становясь от этого честнее к самим себе, а наоборот – впадая в самообольстительный обман как бы проснувшихся людей.

Повинуясь этому самообольщению, старый князь подавил в себе порыв гнева и решил простить сына.

«Так будет лучше и для нас, и для его положения в свете, а с другой стороны – так будет и по-христиански», – умно заключил князь, и, оставшись чрезвычайно довольным собою, сразу же отписал сыну письмо с приглашением приехать в Поспелове на медвежью охоту. Через неделю молодой Арзамасов уже целовал впалые щеки отца.

Хотя Борис и вернулся в Поспелове с чувством вины, письмо отца приободрило его, не вызвав и признаков раскаянья.

«Разве могу я быть виноватым?» – говорили его быстрые черные глаза и всегда румяное круглое лицо.

Старик Арзамасов не стал докучать сыну расспросами, даже не поинтересовался о ране, решив задвинуть эту историю в самый дальний угол своей памяти, как задвигают разочаровавшую книгу на самую верхнюю пыльную полку в библиотеке, меж таких же неинтересных книг.

«Охота все успокоит и всех примирит», – думал Михаил Саввич.

Решено было идти в первый четверг на Масленицу

Утро выдалось солнечным и морозным. Борис, проснувшись по обыкновению поздно, с удовольствием различил узкий клин ярко-голубого неба в просвете глухих штор и сладко потянулся всем своим молодым телом. Быстро собравшись, он сбегал с крыльца и по идеально ровно расчищенной от снега дорожке поспешил на скотный двор.

Старый князь был уже там; облаченный в короткий полушубок, с ножом на поясе, в пушистой волчьей шапке, он ничем не отличался от двух его верных охотников – камердинера Степана и поспеловского мужика Ваньки Сиволая. Оба были страстными

медвежатниками и бессменными товарищами князя по охоте, взявшие с ним шестьдесят два медведя. Степан – коренастый, с узким волчьим лицом и вьедливыми глазами, первым заметил молодого князя, и, сняв лисий трех, привычно поклонился. Ванька – высокий широкоплечий богатырь с глуповато-благодушным выражением на круглом, как тыква, лице, неловко стреб с головы трепаный малахай и тяжело согнулся в пояс. Стоявшие поодаль шестеро мужиков с рогатинами нехотя сняли шапки и тоже поклонились.

– А, это ты, – повернулся к Борису старый князь, бросая на снег рваный подуздок и подставляя сыну щеку – Здравствуй.

Борис поцеловал отца.

– С такой аммуницией они у тебя к чертям разбегутся, разбойник! – сурово, но без злобы заговорил старик, забывая про сына.

Горбатый скотник Гаврила виновато стоял перед ним, теребя нагайку.

– Чего уставился, разбойник! Выводи! – крикнул Арзамасов.

Гаврила заскрипел мерзлыми воротами, скрылся в хлеву и тотчас вывел на цепях трех давил – Шкворня, Сигея и Ноздю. Завидя охотников, давилы завопили на все лады и рванулись к господам.

Гаврила ловко поддернул их и подвел к старому князю.

Давилы подползли к нему на четвереньках и стали лизать его высокие, блестящие от сала сапоги.

– Не кормил! – утвердительно спросил старик, улыбаясь давилам.

– Как же, барин? – обиделся Гаврила. – На что же их кормить-то перед травлей?

– Ну, что скажешь? – старый князь с усмешкой посмотрел на сына. – Хороши мои давилы?

– Хороши, – ответил Борис, беря за изодранное ухо Сигея и поворачивая к себе его смоляную лохматую голову – А где же Свищ?

– Свища я весною Семену Васильевичу продал, – старый князь вытянул из тулупа свою неизменную серебряную фляжку с кориандровой настойкой. – Он, mon cher, сперва меняться предлагал на его Броню, да на что мне? Продал за тысячу. Тройки нам всегда довольно было. Свищ только под ногами путался. Верно, Степан?

– Точно так, ваше сиятельство! – серьезно согласился Степан, отпихивая прыгающего на него Шкворня. – Тройкой давить ухватистей.

– Свищ один мог шатуна задавить, – сказал сам себе Борис, сразу вспомнив рыжеволосого, конопатого Свища, любителя говяжьих костей и тоскливых повечерних песен без слов.

Ноздря, узнав Бориса, прыгнул, гремя искусанной цепью, ему на грудь, вцепился в плечи узловатыми черными пальцами и, радостно визжа, потянулся своей щекастой задубевшей мордой к румяному лицу князя.

– Капо! – пробормотал Борис, пнув Ноздю в живот коленом, и давило радостно отпрянуло, бормоча свое обычное «ети-петь, ети-петь».

Ноздря был матерым сорокалетним давилкой, сокрушившим ребра не одному десятку медведей и прозванному так за свою отроческую привычку жадно вылизывать по утрам господам и прислуге ноздри. От других давил он отличался невероятно широкой грудью, волосатыми, длинными мускулистыми руками, беспокойные пальцы которых непрерывно теребили растянутые соски на его груди.

Ноздю непременно на всех охотах ставили на прием – то есть первым на пути рвущегося из берлоги зверя.

– Гаврила, седлай! – приказал старый князь, убирая фляжку и стремительно пряча свои маленькие руки и рукавицы.

Вокруг все зашевелилось.

«Вот оно, началось!» – весело подумал Борис, подпоясываясь поданным Степаном парчевым кушаком и затыкая за него кривой ятаган.

Вскоре вся охота выехала со скотного по направлению к Старому бору. Соня Соня Соня уברי молоток из из из шкапа.

### ХІІІ

До берлоги оставалось полверсты и князь Михаил Саввич приказал всем спешиться и привязать лошадей, чтобы не поднять зверя раньше времени.

Горбатый Гаврила, ехавший позади охоты на своей каурой Нечаве, проворно спрыгнул в снег и полез принимать гнедого Карбона старого князя и спокойную; муруго-пегую, равнодушную ко всему Сиси, на которой ехал Борис. Шестеро мужиков с рогатинами слезли со своих неказистых лошадок и побрели по глубокому снегу вслед за Ванькой, протаптывая тропу господам. За ними двинулся торопило Фомка со сворой давил. – Его (медведя) Ванька еще до Рождества отследил, – говорил князь сыну, следуя за Фомкой. – Он до пороши не залег, а и в шатуны тоже не сподобился, Старик, сам пять, вот и привередлив.

Борис с улыбкой отметил про себя прежнюю черту отца – во время охоты говорить по-мужицки.

– Старик, ваше сиятельство, то правда! – заговорил было бредущий следом с тремя рогатинами Степан, но князь поднял руку, приказывая умолкнуть.

Вдруг давило Сигей, месящий снег на своре, прыгнул вверх, стал на ноги, втянул ноздрями свежий морозный воздух и издал тонкий продолжительный свист.

Старый князь остановился, и сразу остановилась вся охота.

– Видать, по мелочи, ваше сиятельство! – определил Степан.

– Пускай сработает! – разрешил князь.

Фомка отстегнул повод и показал Сигею палец. Сигей опустил на четвереньки, прыгнул книзу крутолобую башку и вдруг сделал четыре стремительных прыжка в сторону от тропы. Из-под снега с шумом стали подниматься дремлющие в нем тетерева. Сигей метнулся к ним и схватил черно-синего, лирохвостого черныша. Мелькнули белые подкрылья тетерева, раздался хруст его костей.

– Апорт! – скомандовал князь.

Сигей подбежал, протянул птицу. Михаил Саввич взял еще подрагивающего черныша за ноги, встряхнул. Черное перо лучилось и играло на морозном солнце, надбровья адели, нежнейший белый пух виднелся в подкрыльях. Было странно видеть эту красивую теплую птицу зимой, на фоне застывшего под снегом леса.

– Кинь потрох, заслужил! – приказал князь Степану, отдавая ему птицу.

Степан концом своего огромного ножа вмиг вспорол чернышу брюхо, выдрал розово-перламутровые кишки и метнул Сигею. Давило поймал их налету и, к зависти Ноздри и Шкворня, проглотил в мгновение ока.

– Ну, теперь – всем тихо! – скомандовал старый князь, и Борис почувствовал нарастающие удары своего сердца,

«Хоть бы мой Шкворень задавил!» – взмолился он и потрепал плосконосого, рыжего Шкворня по жестким, как солома, волосам.

Шкворень улыбнулся во весь свой щербатый рот и проговорил хриплым басом:

– Отрепь, отрепь, полостель.

Подошли к берлоге.

Медведь залег в низине, поросшей кустами и молодым ельником.

Старый князь и Ванька расставили мужиков-обложиников, Степан подал господам две рогатины со стальными наконечниками. Трое мужиков раздали давилам давилки, или по-охотничьи – дубовые рукавицы, – шесть дубовых комельев с выдолбленными внутри ухватками. Давиды надели их на руки.

Старый князь с Ноздрей встал прямо перед берлогой, Степан с Сигеем по левую руку от него, Борис со Шкворнем по правую,

Мужики в долгополых сермяжных тулупах, как ратники на поле брани, выстроились вперемешку с елками по ту сторону берлоги и выставили вперед рогатины.

– Держи! – подмигнул старый князь Борису и кивнул Степану. – С Богом!

Степан достал из пазухи пороховую бомбу, закатанную в тесто, чиркнул кресалом, запалил и кинул почти точно в отдушник берлоги.

Все замерли.

«Господи, помоги мне!» – успел подумать Борис, отстегивая повод Шкворня.

Бомба рванула не сильно, подняв кверху хлопья снега. Сизое облако дыма повисло над берлогой, и несравнимый ни с чем запах пороховой гари ударил всем в ноздри. Борису вмиг показалось, что медвежья морда, раздвигая дым, движется на него, но берлога не пошевелилась.

«Неужели ошибся Сиволай?» – подумал Борис, как вдруг, потемневший от пороха снег вздыбился кверху и огромный худой медведь легко выскочил из берлоги на обложников.

– Держи! – высоким женским голосом крикнул им старый князь.

Раздался треск ломающихся рогатин, медведь кинулся вправо, взбив тучу сверкающей на солнце снежной пыли, на него прыгнул спущенный Степаном Сигей, но промахнулся; зверь сжался в бурый комок, стремительным прыжком перемахнул копошащегося в снегу Сигея и рванулся между старым князем и Борисом, Не помня себя, Борис отпустил ошейник рвущегося вперед Шкворня и закричал, оглушая самого себя:

– Дави!!

Шкворень прыгнул и с размаха обрушил на голову медведя сразу обе дубовые рукавицы.

Медведь встряхнулся, встал на задние лапы и пошел на него. Шкворень размахнулся и нанес медведю страшный удар в грудь, способный перебить хребет быку. Медведь хрюкнул и двинул нападавшего лапой. Шкворень отлетел прочь. Но слева на зверя уже летел Ноздря, – мелькнула давилка, раздался звон промерзлого дерева и оглушенный, но не сбитый медведь завертелся на месте, рыча и отмахиваясь лапами. Очухавшийся Шкворень поднялся и со зверским лицом кинулся на зверя.

Раздался протяжный вопль Сигея: «порууут!» и его давилки врезались медведю в спину. Давилы взяли медведя в треугол и принялись месить без разбору. Зверь сел, наконец, на гачи и яростно отмахивался, прижав короткие уши и скаля не по-медвежьей длинную, словно внезапно вытянувшуюся морду.

– Сидит! – все тем же бабьим фальцетом выкрикнул старый князь, рванувшись с рогатиной вперед, но увы, зацепившись под снегом за валежник.

Степан и Ванька поспешили к медведю, но, как показалось Борису, ноги их, как в известном каждому человеку кошмарном сне, стали гнуться, словно лыко, и вязнуть в снегу. Волосы зашевелились под смушковой шапкою Бориса, необъяснимый ужас происходящего подтолкнул его и, с рогатиной наперевес, он кинулся к месту схватки.

Давилы, визжа, причитая и крича, *окучивали* вертящегося на гачах медведя, голые спины их мелькали перед Борисом. С трудом найдя просвет между этими спинами, он зарычал как зверь и вонзил острогу в мохнатое вертящееся тело,

Медведь заревел, дернулся; сжимавшие древко руки Бориса сразу ощутили нечеловеческую силу зверя, – дубовая рогатина выгнулась дугой, затрещала и сломалась как спичка. Медведь взмахнул когтистыми лапами, отшвырнул Шкворня и Ноздю и поворотил к Борису умную и страшную морду со слезящимися стариковскими глазками и черным свиным пятакон носа. Морда эта стала стремительно вытягиваться и расти, раздвигая все вокруг – и облитый солнцем заснеженный лес, и высокое синее небо, и звенящий чистый морозный воздух, и копошащихся давил с их деревяшками и голосами, – от морды пошел густой запах прелой земли, мокрые вислые губы разошлись, обнажая нежно-розовые десна с белесой сыпью и мощные кривые пожелтелые зубы, янтарем засверкавшие на солнце. Рука Бориса потянулась к ятагану и только успела сжать маленькую, как бы игрушечную и ненастоящую костяную рукоятку совсем бесполезного оружия, но Ванька Сиволай уже был позади зверя: широкое каленое лезвие его рогатины вошло в горбатую спину медведя и Борис услышал, как под слоем сала треснули позвонки.

Медведь отчаянно зарычал и рванулся, но по этому реву и отчаянному движению стало ясно, что ему конец. Давилы с новой силой набросились на него. Борис вытянул ятаган из ножен и стоял с ним, не зная, как подступиться к зверю.

– Пади! – раздался крик старого князя и, по-стариковски тяжело дыша, Михаил Саввич воткнул свою рогатину в медвежью шею, едва не задев вихрастой головы Шкворня. Этот удар оказался завершающим – медведь рухнул и уже не поднимался.

Подоспел Степан, запоздало размахнулся, но его узкая, как половецкое копьё, рогатина вошла уже в смертельно вздрагивающее тело – медведь испустил дух.

Валко подбежали сермяжные обложники, Фомка и Степан оттащили разъяренных давил. Старый князь вытянул свою рогатину из туши, кинул в снег, подошел к сыну, обнял и поцеловал, щекоча редкими заледеневшими усами:

– Ай-да молодец, mon cher ami! Коли б не ты – ушел бы, разбойник! Tres bien! Perforatio rectoris, благодетели сиволапы! Подарю тебе голову! Голову на стену! Шкворушко! Шкворушко, герой наш ратоборец!

Фомка отпустил ошейник визжащего Шкворня, давило прыгнул к старику и восторженно завертелся у его ног своим голым, порозовевшим на морозе телом. Из разорванного плеча его обильно текла кровь.

– Удержал, удержал, родимый! Ишь, порвал как тебя, побродяга! Степан! Прижми его! Степан наступил валенком Шкворню на спину, придавив его к снегу. Старый князь достал свою фляжку, склонился над Шкворнем и вылил всю кориандровую настойку на разорванное плечо.

Давило завизжал. Михаил Саввич вытянул из рукава полушубка свой кружевной батистовый платок и умело перетянул раненое плечо давилы. Тонкий батист тотчас намочил кровью. Князь оглянулся, подозвал мужика:

– Скидавай тулуп!

Мужик разделся, оставшись в косоворотке и козлиной душегрейке.

– А ну – рви подол да вяжи ему плечо! – приказал старик. – Чай, не chair a canon... Бориска! – он завертел головой и обнял сына. – Как мы, а? Ухватили, благодетели запечные! Ну, пошли глянем!

Охотники обступили поверженного зверя.

Медведь лежал навзничь, уставившись открытыми глазками в небо и раскинув свои совсем еще недавно могучие лапы с черными полированными когтями, словно собираясь с силой, чтобы встать и сгрести в охапку весь этот чистый, морозный и яркий мир, не понятно для чего потревоживший его сон, навалившийся на него и лишивший его жизни. «Погодите немного, вот я сейчас», – словно говорил вид этого лежащего на снегу медведя. Из узкой клиновидной груди его торчал обломок рогатины Бориса; густая, вишневого тона кровь сочилась из-под лезвия, поблескивая на солнце и пропадая в медвежьей шерсти. Соня, убери молоток из шкапа.

#### XIV

После охоты отец и сын Арзамасовы с аппетитом отобедали, распив бутылку бордо. Молодой князь пошел спать, старый – обдирать со Степаном медведя, класть мазь на рану Шкворню, вместо слегшего в горячке управляющего толковать с пильщиками льда для ледника, указать бабам куда пересыпать прошлогодний ячмень, точить со столяром фигурку шахматного ферзя, взамен обглоданной борзым кобелем Разгоном, – и так до самого вечера.

Вечером же была устроена баня.

Старый князь выпарился как всегда первым и в одиночку Борис пошел после него. Баня в имении Арзамасовых была особенная, если не сказать больше. Двадцать пять лет назад покойная супруга Михаила Саввича Мария Федоровна, проведенная с мужем шесть лет в Париже, где он служил по дипломатическому ведомству, сразу по приезде в

Поспелове приказала выстроить возле пруда турецкую баню. Ее строили по проекту грека-архитектора силами поспеловских мужиков почти полтора года, наконец построили, и Мария Федоровна выписала из Парижа турка-банщика, которому Аллахом было уготовано провести в русском Поспелове остаток своей банной жизни, пропарить и промять сотни раз тела четы Арзамасовых и их заезжих гостей, чтобы потом нелепо погибнуть – не от русского мороза, не от шальной пули на охоте и не от пьяного кучера, а просто утонуть в заросшем приусадебном пруду.

Мария Федоровна не сильно пережила банщика. После ее кончины быстро выяснилось, что сам Михаил Саввич вовсе не большой любитель турецких бань.

Печь приказано было сломать и переложить на русский манер. От бывлой экзотики остались лишь мозаика да купальня, которой князь никогда не пользовался.

Борис отправился в баню в сопровождении лакея Ваньки.

Было морозно и темно, несмотря на полную луну в дымчатом нимбе. На деревне визжала собака и стояла та глухая, непроницаемая тишина, какая опускается на русскую землю только зимой.

В предбаннике Ванька раздел молодого князя и проводил в парную, где на мозаичном турецком полу орудовал банщик Семен – кривоногий чернобородый мужик с лицом, изуродованным ударом лошадиного копыта, отчего лицо его всегда имело грозно-плаксивое выражение, Он был голый по пояс, в исподних портах, мокрых от пара и пота.

– Здравия желаем, вашество, – поклонился Семен, держа в узловатых руках пушистое лыковое мочало.

– Здравствуй, Семен, – проговорил Борис, усаживаясь на самый низкий из четырех полков и с удовольствием вдыхая густой и крепкий пар.

– Какого парку изволите – мятного, аль квасного?

– Давай квасного.

Семен зачерпнул ковш кваса и стал плескать на раскаленную каменку. Булыжники загудели, и Борис сразу почувствовал запах свежеевыпеченного ржаного хлеба.

– Как изволите выпариться, вашество, по-простому, аль со стоном? – спросил из облака пара Семен.

– Давай уж со стоном.

Семен сунул в свой перекошенный рот два мокрых пальца и свистнул. Дверь кладовой отворилась, и в парную вошла Акуля – невысокая шестнадцатилетняя девка в паневе, с красивым правильным лицом, большими карими глазами и густыми распущенными каштановыми волосами. Она поклонилась князю и неподвижно встала, глядя на него исподлобья совсем по-детски.

– Раздевайси! – скомандовал Семен.

Девка сняла паневу с исподницей, свернула валиком и положила на подоконник. Несмотря на малый рост, она была прекрасно сложена и имела большую развитую грудь с розовыми пятнами вокруг коричневых, уже сосанных не одним ребенком сосков.

Князь влез на самую верхнюю проступню полка и лег на нагретое сухое дерево. Акуля взошла по проступням и ничком легла на спину князя, так что ее живот прижался к его пояснице, а грудь – к голове и шее. Голова Акули оказалась рядом с головой князя и ее густые, свежеевымытые волосы накрыли лицо Бориса. Своими маленькими, но крепкими ногами и руками она оплела его тело и еще теснее прижалась к нему. Ее белая кожа оттеняла смуглую, мускулистую фигуру князя, маленький круглый зад лежал рядом с плоским задом князя.

Семен вытянул из деревянного корыта с водой березовый веник и толстый ивовый прут, встряхнул веником над каменкой и новое облако пара окутало лежащих.

– Виноватая, ох, виноватая! – захныкала Акуля и, придавленный ее нетяжелым телом, князь улыбнулся, вспомнив старый добрый обычай дома Арзамасовых.

Семен взял прут в левую руку, веник в правую и принялся проворно и сильно бить прутом по заду Акули, а веником – по заду князя.

– Виноватая, ох и винова-а-а-тая! – сильней и протяжней запричитала Акуля, вздрагивая всем телом.

Ее ноги терлись о бедра князя, руки тискали его плечи, прохладная грудь давила ему на шею. Ее волосы заслонили глаза князю, и в узких просветах этих густых, рассыпчатых волос мелькали блестящие мускулистые руки Семена. Если дышащий паром веник опускался на зад Бориса с глухим шорохом, то моченый прут сек плоть девушки со свистом.

Борис оцепенел от неизъяснимого блаженства, целиком отдавшись своим ощущениям. Ему было невероятно приятно лежать в клубах пара, придавленным к горячему полку молодым, полным сил и жажды жизни телом девушки, которую он видел впервые и, вероятно, никогда больше не увидит, и чувствовать и слышать, как содрогается и стонет на нем ее беззащитное тело, как дергается она от каждого удара уroda-банщика, а затем и самому принимать удар, но другой – нежный, опьяняющий, пробирающий бархатным жаром до костей.

Князь закрыл глаза.

Три совершенно разных звука возникали попеременно в пространстве парной, переплетаясь, сливаясь в сложный аккорд совсем нечеловеческой, неземной музыки, разделялись снова и снова соединялись воедино: хлесткий удар прута, стон, шорох веника, снова прут, веник и стон, вскрик протяжный, прут и веник.

«Боже, Боже мой, как же это все хорошо, – думал Борис в полузабытьи. – Здесь, в этой нелепой бане, в пару, отъединившись и запершись от всего мира, от зимы и заледенелых деревьев, от глухой деревни и заметенных дорог, от крепко спящих мужиков, от собак, от снежной долины, от далеких людей в далеких городах, от родных и незнакомых, от звящего морозного воздуха и этой круглой мутной луны, висящей над всем миром, – как чудесно нам, трем теплым и голым людям делать то, что так необъяснимо опьяняет и потрясает нас».

Семен стал бить сильнее, и Акуля уже не вздрагивала, а непрерывно тряслась, ерзая от боли на пояснице Бориса, крики ее переходили в протяжный стон:

– Винова-а-а-а-тая! Мамушка, ох и винова-а-а-а-тая! Ее детские пальцы намертво вцепились в плечи Бориса, голова билась о полку.

– Винова-а-а-а-тая! Винова-а-а-а-тая! – кричала она все громче и громче и, вдруг смолкнув, забила на спине Бориса, как в припадке падучей.

Семен вмиг отшвырнул прут и веник, схватил шайку, полную ледяной воды с плавающим в ней снегом, и окатил этой водой лежащих. Девушка сразу оцепенела, словно заснула.

Ледяная вода шумно потекла вниз по проступням.

«Наверно можно и умереть от этого», – подумал Борис и открыл глаза.

Кусок снега лежал на полке возле его лица. Он дотянулся до него губами и взял в рот. Ему сразу заломило зубы.

Акуля лежала, не дыша, как мертвая.

Вода стекала и капала на мозаику. Пунцовый Семен сел на пол и тяжело дышал. От пара и работы лицо его стало страшным.

Вдруг девушка вздрогнула, приходя в себя. Пальцы и ноги ее разжались и из груди вырвался стон слабости. Она заворочалась, силясь приподняться, но снова замерла, и князь почувствовал, как струя ее горячей мочи ударила ему в поясницу. Моча протекла по его телу, смешалась с ледяной водой и закапала вниз.

Акуля с трудом приподнялась и сползла с полка. Зад ее светился сплошным розовым пятном с косыми багровеющими следами кровоподтеков. Хромая и морщась от боли, Акуля взяла свой валик с подоконника и скрылась в кладовой.

– Ну как, вашество, исправно выпарил, аль нет? – спросил Семен, готовя шайку для омовения.

– Хорошо, – ответил Борис, с трудом сползая с полка и чувствуя, что начинает терять сознание.

Семен кинулся ему помогать.

Радужные круги поплыли в глазах князя, он шагнул в предбанник, как пробующий ходить младенец и, потеряв силы, опустился на спасительный холодный пол.

– Никак головушка закружилась? – захопотал вокруг него Семен, приподнимая его, усаживая на скамью и накрывая простыней. – За снегом сбегать, вашество?

– Не надо, – прошептал князь, приходя в себя. В предбаннике было холодно, несмотря на то, что он отапливался общей печью. Три оплывшие свечи в шандале скупо освещали грубые каменные стены, по-турецки обмазанные белой, сильно истрескавшейся глиной. Здесь пахло сухими вениками и нежилым каменным домом.

– Вашество, позвольте снежку принести, – бормотал Семен. – К головушке приложить, чтоб кровь враз отошла.

– Не надо, ступай, – князь потянулся к жбану с квасом и вдруг поморщился от резкой боли в левом боку.

«Рана!» – подумал он и глянул вниз, себе под левую руку. На прилипшей к телу простыне проступило маленькое алое пятно.

– Sacre nom... – пробормотал, морщась, князь.

– Чевоито? – повернулся Семен, уже было шагнувший через порог в адский белый воздух парной.

Борис раскрыл простыню.

Рана, полученная им на дуэли с Несвицким и вот уже месяц как затянувшаяся розовым рубцом, неожиданно напомнила о себе: в рубце появилась тонкая трещина и сочилась сукровицей.

– Царица небесная! – с неподдельным притворным крестьянским испугом, будто это он и только он нанес князю рану, воскликнул Семен.

– Никак на охоте, вашество?

– Нет, брат, это не на охоте, – Борис дотянулся до жбана, зачерпнул ковшом квасу и с удовольствием осушил ковш до дна.

– А как же теперя-то? – тоскливо почесал Семен свой плоский живот. – Нешто за корпией сходить?

Борис смотрел на сочащийся шрам, не думая ни о чем; его телом овладел тот ни с чем не сравнимый, легкий и бессловесный покой, приходящий только после русской бани. Ему было совершенно все равно, кто он, зачем он здесь и что это за рана в боку, – просто хотелось сидеть в прохладном предбаннике, пить квас и до слез в глазах смотреть, смотреть на свою сочащуюся кровь.

Зато Семен всерьез, но ненадолго задумался, шевеля отвислыми губами. И его осенило:

– Вашество! А на рожна корпию? Пуцай Ноздря залижет! Он надысь его сиятельству волдырь так разлизал – и следов не осталось!

Борис с трудом вспомнил, кто такой Ноздря, но не вышел из своего забытья. А вокруг него засуетились люди, заскрипели просевшие двери и мерзлые половицы, завизжал от радости Ноздря, подведенный на заиндевелой цепи, поднесли еще огня, стали осторожно спрашивать о чем-то важном, но князь не отвечал. И лишь когда широкий, влажный и теплый язык Ноздри коснулся его раны и жадно слизал кровь, Борис вздрогнул и пришел в себя.

Ноздря стоял перед ним на коленях и быстро лизал, похрюкивая от удовольствия приплюснутым лиловым носом; глаза его были полуприкрыты, а поросшее клочковатой, серой бородой лицо выражало сосредоточенность и переживание высшей благодати, которая в очередной раз снизошла на него от господ, осветив суровую жизнь давилы божественным светом. Нежный, но сильный язык его словно отрезвил князя, и Борис вспомнил все – и бессмысленно-страшную встречу с Татьяной, и белое, с трясущейся нижней челюстью лицо Несвицкого, и два выстрела в Сеченой роще, и быстрые руки Морозова с холеными женскими ногтями, и свою кровь на желтом кленовом листе. «Как все быстро разрешилось», – подумал он и положил руку на косматую голову Ноздри.

Молоток из Соня шкаф убери.

Вот и все тексты. Как тебе? По-моему – топ-директ.

Это поинтересней, чем тексты проекта ГС-1. Там, как ты помнишь, было ТРИ реконструкта: Цветаева-1, Маршак-4 и Булгаков-2. Что из этого вышло – знают два пеньтань шагуа из МИНОБО, шесть чуньжень из ГЕНРОСа, двадцать три пиньфади дао бай син в синей униформе и один мошущзя, шлющий тебе *гнилые* письма.

Теперь ОЧЕНЬ серьезно: я безусловно люблю тебя, как собственную селезенку, но если ты не сбережешь эти каракули, я тебя выверну наизнанку и на каждом твоём внутреннем органе черной японской тушью напишу по-русски его китайское название.

Думай, рипс хушо бадао.

**Boris.**

P.S. Письмо это понесет тебе последний клон-голубь из бетонной голубятни ефр.

Неделина. Новый выводок этих тварей проклюнется только через месяц – инкубатор уже заряжен. Еще через пару месяцев они смогут подняться в наше линиярое небо. У нас будет время НЕ думать друг о друге.

**8 апреля.**

Привет, милый. Вот и я.

СНОВА!

Ах, как топ-директно начался день!

Встал поздно – 11.40.

Сделал волновую гимнастику, пошел завтракать, там уже все в сборе. Шумный разговор, *деловое* предложение (Карпенкофф, конечно) устроить сразу, здесь и теперь cocktail-party. Я присоединился без страха и упрека. Пить с утра cocktails иногда необходимо. Не для L-гармонии, конечно, рипс нимада, а ПРОСТО ТАК, Переместились в наш простетский solarium: я, Карпенкофф, полковник, Агвидор, Бочвар, Витте, Андрей Романович и Наталья Бок.

Карпенкофф (о, эта *извилистая* дама) решила убить сразу двух клон-медведей:

1. посадить нас в замерзшую лужу нашей cocktail-невменяемости и воспарить над нами гнилою бабочкой.

2. нажраться как Чжу Ба Цзе и втянуть нас в оргию. Ну-ну, лошадинаяо , давай с тобой тряхнем шейкерами, весело подумал я.

Она первой зашла за стойку, подпрыгнула и села на нее. Оделась госпожа Карпенкофф соответствующе: рискованно узкий комВINEзон из живородящего шелка, хрустальные туфли, белое ожерелье из сверхпроводников, левитирующее вокруг ее нестарой шеи.

– Благородные ванны! – обратилась она ко всем. – Есть *чистое* предложение. Мы все, вершители проекта ГС-3, теперь, когда процесс плюс-директно перетек в фазу накопления, имеем полное L-право отдыхать не только *бетонно* , но и *прозрачно* . Я объявляю сегодняшний день ПЕРВЫМ ДНЕМ ПРОЗРАЧНОГО ОТДЫХА. Сейчас каждый из нас приготовит свой cocktail. Для того чтобы? Да! Выпить его со всеми вместе. А затем, рипс лаовай? Получить приз ВЫСШЕЙ ПРОЗРАЧНОСТИ за лучший напиток. Вы спросите – что это за приз? Справедливый вопрос, рипс, Проясню: ВЫСШАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ – исполнение любого желания победителя. Только одного, естественно. Согласны?

Все одобрительно задвигались.

– Тогда начнем, рипс уебох! Господин полковник, вы *трясете* первым.

– Я? – спросил полковник, расстегивая свой не очень чистый ошейник.

– Да, вы. И не спорьте с ех-амазонкой.

– Да нет, я не спорю. Просто я не большой любитель cocktails, ...я пробирую чистые продукты. А из cocktails – только классику... да и то... – он М-убого почесался, – в основном один-единственный mix. Старый как... как... не знаю что.

– Трясите, не теряйте время, – подстегнула его Карпенкофф.

– Давай, Serge, не стесняйся, рипс байчи! – закричал Бочвар, уже успевший спиться и, как мне кажется, *стереться* с полковником. – Мы все хотим выпить!

– Ну, я вас разочарую, – засмеялся полковник и полез за стойку. – Чего ждать от нас, простых защитников нашей многострадальной Родины?

– И чего же? – поинтересовался Агвидор, закуривая. – Водки с русской кровью?

– Если с моей – пожалуйста, – полковник неловко открыл шейкер.

– Бьюсь об заклад – это SHADY LADY, – заметила Бок (невзрачная лао бай син с нерусским носом).

– Я слышал BBC пьет исключительно ROB ROY, – зевнул Романович (V-сбалансированный шагуа).

– Не смущайте меня, господа, – полковник ливанул виски, лимонного сока, добавил gomme сугор, вставил в мультишейкер и из стойки выросли восемь стаканов с желтым содержимым.

– WHISKY SOUR, господа! – засмеялся он. – Вы этого хотели от старогосапога ?

– Мой дедушка любил этот сяоши, – взял первым стакан Агвидор.

– Топ-директ, – пригубила Карпенкофф. – Напиток для одиноких мужчин, пробирующих раз в месяц АЭПОСЕХ и предпочитающих книги голо-пузырям. Prosit, Herr Witte!

– А тост? – спросил Витте. – Нельзя же пить просто так.

– Правильно! – потянул носом и харкнул на пол Бочвар. – Мы не якуты, чтобы пить молча! Тост, полковник!

– Ну, – усмехнулся, старея, полковник, – давайте вот что. Давайте выпьем за Восточную Сибирь. Здесь еще говорят по-русски. Хотя в Иркутске и даже в Бодайбо уже китайцы. За север Восточной Сибири.

– Я не против, – пробормотал Агвидор. – Хотя не понимаю какое вам дело до Бодайбо. Ну, Бодайбо и Бодайбо. И Бодайбо с ним со всем.

– Мне плевать на ваше непонимание, – выпил полковник. – Мои дети не знают слова собака.

– Собака – не русское слово, – вставил я. Полковник тоскливо покосился на меня.

– Зато дурак – русское, – заметила Карпенкофф, подходя к Агвидору и беря его в *поле*. Агвидор тут же зло и сине вывернулся.

– Ну, господин наиглавнейший термодинамик! – засмеялась она, пуская оранжево-желтые радуги – Мы здесь все друзья, не будьте фынцыхуа. Хушо бадао уместно нести на службе. Мы же мягко и прозрачно отдыхаем, nicht wahr, Witte?

– Я уже выпил! – засмеялся Витте, показывая пустой стакан. – Не понимаю о чем вы спорите?

– Мы не спорим, – усмехнулся полковник. – Мы просто выпили за русскую Сибирь.

– Окау! – подпрыгнул Бочвар. – Тогда следующий mix за мной!

– Я не против, – Карпенкофф выбросила лед из стакана на пол и раздавила хрустальным каблуком.

– Я сделаю такое, что вы все запоете арию горбатой Хэ из оперы «Шелковый путь»!

– Тьфу! – выплюнул лимонную косточку полковник. – Хоть сегодня можно обойтись без китайщины?!

– Молчу, молчу, Serge! – загремел льдом Бочвар – Итак! Говорю вслух, чтобы все знали и пробироваи до гробового стука: одна унция любой водки, одна унция любой джина, одна унция любого виски, одна унция любого коньяка, одна унция любой текилы, одна унция любой граппы, одна унция любого... да... кальвадоса здесь нет. Ну и ладно. Please! Возникли стаканы с жидкостью цвета вчерашнего чая.

– А лед? – спросила наивная Бок. Ни в коем случае! – подал ей стакан Бочвар. – Лед все унифицирует. Как ваш BIOS-120-K.  
– За что? – Карпенкофф поднесла стакан к глазам.  
– Подождите! Он не сказал, как это называется! – завопил уже захмелевший Романович.  
– Я бы назвал это УДАР ПО ПЕЧЕНИ N1, – предложил Агвидор.  
– Господин Бочвар, не нарушайте традиции и нашей L-гармонии, – предупредила Карпенкофф. – Называйте, называйте, называйте.  
– Ну... название... – Бочвар почесал надбровия, – Давайте назовем это... ЖИДКИЙ ПАМЯТНИК ПРОЕКТУ ГС-3.  
– Вполне лин жэнь маньи-ди, – одобрил я.  
– А что будет твердым памятником проекту? – осторожно спросила Бок.  
– Солдатский кал на белом снегу! – хохотнул Бочвар.  
– Твердый памятник ГС-3 – двадцать кило голубого сала, ради которых мы собрались здесь, – с тупой серьезностью проговорил полковник. – Двадцать кило ждет от нас наша измученная страна.  
– Двадцать кило вы никогда не дождетесь, – заметил Агвидор, играя свободной рукой с ворсинками живородящих обоев. – Шестнадцать – в лучшем случае.  
– Почему – вы, а не – мы? – тупо спросил его полковник.  
– Stop it, рипс пиньфади тудин! – подпрыгнула и коснулась плавающего потолка Карпенкофф. – Если кто еще раз заговорит о проекте – я сделаю ему малый тип-тирип по трэйсу! Мы пьем ЖИДКИЙ ПАМЯТНИК! Кстати, а где музыка?  
– Да, да, – вспомнил Витте. – Где музыка?  
– Где музыка? – заревел Бочвар.  
– Музыка! Музыка! – требовал Романович.  
– Я хочу 45-МООТ! 45-МООТ! – прыгала, расплескивая ПАМЯТНИК, Карпенкофф.  
– Марта, только не ГЕРО-ТЕХНО! – завизжал Бочвар. – Я тер на это в десятилетнем возрасте!  
– Тогда BEATREX! И ничего другого для начала! Сегодня я сосу и направляю, рипс нимада!  
– Слово дамы! Бэнхуй! – ввернул полковник. Бочвар сочно плюнул в потолок, и вскоре мы уже терлись спинами, прихлебывая чудовищный ПАМЯТНИК, под «GNOY AND SOPLY». Карпенкофф пробовала подмахивать полем, но у нее получалось не в волне. Когда через 19 минут это убожество закончилось, Бочвар подтолкнул Витте к стойке:  
– Гюнтер, не стройте из себя Гитлера-45! Machen das fertig!  
Витте долго и нудно гремел бутылками и предложил нам слоистую мечту русского немца середины века. СНІ СНІ:

1 vodka  
1 blue Curacao  
1 березовый сок  
2 coconut cream  
1 Kahlua  
1 ложка овечьих сливок  
1 Aventinos (оччччччень темное пиво)  
плюс фиолетовый (??) лазер

Мы пили с трудом и молча. Витте радостно подмигивал. Дверь хлопнула и вошел Фань Фэй. Его приветствовали облегченным визгом.  
– Так! Все уже пьяные! – с шанхайской прямолинейностью заметил он.  
– Фань, ваша очередь! – поцеловала его голое плечо Карпенкофф.  
Он понял все сразу и смело взялся за шейкер:

5 томатный сок  
3 spiritus vini  
2 красные муравьи  
1 salty ice  
1 стручок красного перца

Это сильно, рипс бэйцаньди. Как и все, чего бы в наше спазматическое время ни касалась рука китайца. Все теперь работает на них, как в XX веке на американцев, в XIX на французов, в XVIII на англичан, в XVII на немцев, в XVI на итальянцев, а XV на русских, в XIV на испанцев и в I (кажется) на евреев. Говорю без тени зависти. Хотя и не без раздражения.

Всем настолько понравилось, что забыли спросить название. Я бы назвал CHINA XXI. Ты не против, сморкач?

– А вот теперь – 45-МООТ! И готовится Борис Глогер! – захрустела красными муравьями Карпенкофф. Как бы не так, финцыхуа:

– Марта, я трясу только после вас.

Я не раскрашу носорога. А ее выставлю на желание, как дважды два. Мы все уже были немного в *футляре*, оставалось принять еще 2-3 дозы, чтобы съехать в *печь*.

Карпенкофф, как опытная апсара, почувствовала во мне конкурента, но давить не стала – рывкнул ее любимый 45-МООТ. Она согнулась и просунула мне руку между своих плотных шелковых ног. Делать нечего, я ответно наклонился, и наши руки встретились прямо под моей простатой. Мы отМООТили с ней три круга.

Чистый Космос, неужели так танцевали наши родители?! На Карпенкофф было страшно смотреть – физиономия ее после третьего круга была похожа на лицо несчастного Толстого-4, только вместо слез во все стороны летели солидные капли пота.

Одна из них попала в глаз(!) Агвидору(!). Ругаясь, он схватил со стойки пирамиду минеральной и вылил себе налицо.

– Ну, не стоит так откровенно брезговать моими естественными отправлениями! –

Карпенкофф отпустила мою руку и, задыхаясь, легла на пол. – Ой! Я сейчас *приобрету* !

– У вас пот едкий, как моча репликанта, – Агвидор вытер лицо салфеткой. – Ведите себя прилично, рипс нимада.

– Не в бровь, а в глаз, Была такая русская поговорка? – спросил Романович.

– Была и другая, – заметил я. – Чужой пот картины мира не застит.

– Не понимаю, – улыбался Фань Фэй. – Это старрус?

– Правда, а что это значит, Глогер? – спросила Бок.

– Это значит, что следующим трясет Агвидор Харитон. Все заплодировали. Агвидор угрожающе встал с тумбы:

– Сейчас я вам тряхну. Мало не покажется.

– Только без няо! – предупредила Карпенкофф. – И первым пьете вы!

Агвидор взял в левую руку бутылку дубового аквавита, в правую куб «Кати Бобринской» и подмигнул мне.

Энергия направленного взрыва разнесла полутонную дверь, ворвалась внутрь бункера.

– Круши их, братья! – закричал Иван, выдергивая обрез из-за пояса и первым бросаюсь вперед.

Шестеро смельчаков кинулись за ним.

Внутри бункера было дымно, но не темно: взрыв не повредил проводку. Из тамбура вглубь вел коридор. В конце его показалась охрана – трое беложетонников. Сергей, Мустафа и Карпо метнули гранаты.

– Ложись! – скомандовал Иван, и братья кинулись на пол.  
Три взрыва слились в один. Осколки впились в бетонные стены, куски тел полетели по коридору

– Вперед! – вскочил Иван. – Не дадим им продыху! Они побежали по коридору. Вглубине бункера раздался сигнал тревоги. Солдаты стали выскакивать в холл из столовой, где только что начался обед. Братья встретили их шквальным огнем из обрезов. Дым от самодельного пороха заволок холл.  
Солдаты падали, живые пытались прорваться к оружейной. Но снова полетели три гранаты и через пять минут со взводом беложетонников было покончено. Мустафа и Николай закололи раненых, Иван смахнул со своего обветренного лица каплю чужой крови:

– Ищите!

Семеро двинулись по бункеру, заглядывая в блоки и добывая персонал. Остановились возле водяной двери. Сквозь неподвижный пласт воды светилась желтая надпись SOLARIUM.

– Это что, Иван? – непонимающе спросил Карпо.

– Это... блядские обморачивания, – Иван сунул дуло обреза в дверь, вода послушно расступилась. Он шагнул сквозь воду и оказался в баре. Оглушительно ревели музыка, стены и потолок шевелились, как живые, переливаясь всеми цветами радуги, небольшая группа ярко одетых людей танцевала посередине. Худой человек в красном костюме что-то делал за стойкой бара. Вслед за Иваном вошли Сергей и Коля Маленький.

– О! Рипс, наши храбрые шаоняни с охоты вернулись! – закричал один из танцующих. – Кого убили, рипс пенътань?

– Сяочжу! Они убили сяочжу! – завизжала женщина в переливающимся костюме, подпрыгивая и делая сложные движения.

– Присоединяйтесь, сержанты! – закричал человек с полуметаллическим лицом. Стоящий за стойкой молча смотрел на вошедших. Вдруг он сделал движение рукой и музыка стихла.

– What's the fuck?! Агвидор, я убью вас, рипс! – завизжала женщина, хватая пальцами воздух.

– Агвидор, вы рискуете L-гармонией! – бессильно опустился на пол человек с потным лицом и серебриющимися волосами.

– Кто это? – спросил стоящий за стойкой. Смех и выкрики смолкли, танцевавшие замерли и смотрели на вошедших,

– У, бляди мелкие! – с ненавистью проговорил Иван и выстрелил в человека за стойкой. Сергей и Коля Маленький открыли огонь. Раздались визг и крики умирающих.

Не всех, не всех! – крикнул Иван, перезаряжая обрез.

Стрельба прекратилась.

Среди убитых и тяжело раненых лежал, обхватив лысую голову руками, худой как палка, человек.

Всех кончить, а этого оставить! – скомандовал Иван и вышел сквозь булькнувшую дверь в коридор.

Вскоре в бункере не осталось ни одного живого, кроме худого человека.

– Как твое имя? – спросил Иван худого.

– Борис Глогер, – ответил худой.

Лицо его было узким, загорелая кожа обтягивала кости черепа. На висках под кожей виднелись металлические пластины сложной формы.

– Где то, ради чего вы здесь? – спросил Иван.

– В инкубаторе.

– Где инкубатор?

– Блок N9.

– Где блок N9?

– Возле аппаратной.  
– Где аппаратная, сухая кишка?! – заскрежетал зубами Иван.  
– Я покажу... я все покажу вам, – вздрогнул худой, опуская зеленые ресницы.  
Они пошли по коридору и остановились возле белой двери с изображением овечьей головы,  
– Почему овца? – спросил Иван. – Здесь что, овец растят?  
– Это эмблема РОСГЕНИНЖа.  
– Открывай!  
Худой сунул свой палец в отверстие. Дверь поехала в сторону, в блоке загорелся свет.  
Худой подошел к инкубатору открыл. В ярко освещенном теплом и тесном пространстве лежали в позе зародышей семь тел,  
– Они? – спросил Иван.  
– Да. Это все семь объектов.  
Иван посмотрел на лежащих. Они были разные по росту и по формам, На шеях у всех торчали желтые полосы с именами. Под кожей у каждого то здесь то там виднелись отложения голубого сала. Сало светилось нежно-голубым, ни на что не похожим светом,  
– Федор! – позвал Иван.  
Федор подошел, расстегнул тулуп и вытянул из-за пояса холщовый мешок. Иван достал из валенка финку с наборной рукояткой, обтер шарфом и воткнул в спину Достоевского-2.  
Помочь, Ваня? – спросил Николай.  
Режь у других, – засопел Иван, вырезая из спины кусок голубого сала.  
Николай достал свой нож и вонзил его в поясицу Толстого-4. Иван, тем временем, осторожно вынул из спины Достоевского-2 солидный кусок и положил в мешок.  
– Чего рты раззявили? – оглянулся он на остальных братьев. – Режьте, режьте!  
Николай вырезал, поднес к лицу. Сало осветило его прыщеватое, покрытое шрамами лицо.  
– Надо же! – улыбнулся он, обнажая гнилые зубы. Коля Маленький подошел, понюхал:  
– Вроде грибами пахнет... Николай тоже понюхал:  
– Не. Не грибами. Молоком.  
– Молоком? – засмеялся Коля Маленький. – Когда ты его видал?  
– Хорош гулять! – Иван сунул в мешок другой кусок. Братья склонились над телами.  
Некоторое время работали молча.  
– Все вроде... – Иван уложил в мешок последний кусок. – Федор, ты понесешь.  
Высокий широкоплечий Федор взвалил мешок на спину:  
– Не шибко тяжкий.  
– Идите наверх, ждите меня, – приказал Иван. Братья вышли.  
Иван проводил их взглядом, повернулся к стоящему в углу худому:  
– Борис Глогер! Поди сюда!  
Худой подошел. Иван вынул из-за пазухи висящий на шее диктофон, нажал клавишу:  
– Что такое голубое сало?  
Глогер посмотрел на свои тонкие пальцы:  
– Это... вещество LW-типа.  
– Говори по-русски. Что за LW-тип?  
– Это сверхизолятор.  
– Что такое сверхизолятор?  
– Вещество, энтропия которого всегда равна нулю. Температура его всегда постоянна и равна температуре тела донора.  
– Где оно используется?  
– Пока нигде.  
– Тогда зачем оно понадобилось?  
– Это в плюс-позите трудно обосновать...  
– Не тяни муде, у меня мало времени! Говори быстро, по-русски и по делу!

- Ну, рипс, ... Чистый Космос... Это вещество было получено случайно при пробной реконструкции скрипторов... то-есть – тех, кто записывал свои фантазии на бумаге.
- Писателей, да?
- Да... их так раньше называли.
- И что?
- И... это вещество... то-есть... рипс... существование сверхизоляторов породило четвертый закон термодинамики.
- И что это за четвертый закон?
- В веществах LW-типа энтропия постоянна и не зависит от изменения температуры окружающей среды. И формула... но... я вообще-то человек далекий от точных наук... так что я не в плюс-директе...
- Кто ты по профессии?
- Биофилолог. Специализация – логостимул.
- А технари где ваши?
- Вы их убили.
- И ты не знаешь, для чего нужно голубое сало?
- Есть проект МИНОБО. Я не знаю подробностей... но, цзюй во каньлай... они делают реактор на Луне, реактор постоянной энергии. Он строится в виде пирамиды... пирамиды из сверхпроводников 5-го поколения и голубого сала... слоями... слоями... и он позволит решить в плюс-директе проблему вечной энергии.
- Реактор? И это все?
- Как – все?
- Ну, это голубое сало используется только в этом реакторе?
- Пока – да.
- А другое применение? Военное, например? Оружие из него нельзя сделать? Бомбы какие-нибудь?
- Я не знаю.. по-моему об этом не было разговоров... оружия из него делать не собирались.
- А яд какой-нибудь? Или орудия уничтожения?
- Нет. Оно не ядовито. Просто у него не совсем обычная атомная структура.
- Иван угрюмо почесал седой висок:
- Оно хоть горит?
- Нет, нет. Его можно резать, расчленять на молекулы, но эти молекулы всегда будут выключены из процесса энергообмена.
- На хуй тогда я жизнью рисковал? – спросил Иван, выключая диктофон.
- Я... не понял, – Глогер тронул кончиками пальцев свои большие розовые губы.
- Я тоже ничего не понял! – Иван с горечью вздохнул, вытянул из-за спины обрез, достал патрон, вставил в казенник. – Скажи, скелет, ты послал бы своего брата на смерть ради какого-то малопонятного голубого сала?
- Глогер посмотрел на окровавленные тела в инкубаторе:
- Нет.
- Я тоже, – Иван выстрелил Глогеру в лоб. Мозг Глогера брызнул на щит с предупредительной инструкцией. Височная пластина покатила по мягкому полу. Назад возвращались затемно. Допотопный снегоход, собранный еще в СССР, замаскированный сверху елками, вез семерых на северо-восток. Карпо сидел за рычагами. Мустафа, зажав между колен соленый олений окорок, ловко срезал длинные полосы темного мяса и раздавал сидящим в тесном салоне.
- Вернемся – вызову Ванюту на разговор, – вяло жевал солонину Иван. – Мы что ему – мыши полевые?
- Может, ты не понял чего? – спросил Николай.
- Я книгу прочел больше, чем все вы. Он нас посылал за новым оружием, так?
- Так.

- А это что? – Иван пнул валенком мешок с голубым салом.
- А вдруг это и есть оружие? – спросил Коля Маленький. – Вишь, как светится!
- Это топливо для какого-то реактора на Луне, – угрюмо пробормотал Иван,
- А неблядское оружие? – поковырял в зубах Федор. – Где же оно?
- В пизде, – Иван поднял ворот полушубка, привалился в угол салона и тут же заснул.
- Да, – почесался Сергей. – Надо было блядское оружие брать, коли неблядского нет. Видали их автоматы? Называются «Циклоп».
- Страшно слышать тебя, брат Сергей, – покачал головой Николай. – Ты всерьез испоганиться захотел? В руки блядское взять? Завет нарушить?
- Брат Николай, не хочу я поганиться. Вторую зиму на оленине, да на кедраче доходим. Мы ж сегодня весь НЗ просадили, в бункере в этом. Из чего оленей бить будем, из пальца? Селитру-то раньше мая все одно не наковыряешь. Опять червей есть, как в прошлую весну?
- Не напоминай про червей, брат, – засопел Федор. – Лучше на черемше доходить, чем червяков глотать.
- Аооо! – зевнул Коля Маленький. – Как я живой остался – непонятно. Слава Земле, навели нас вовремя: блядовня жрать села. А то б разнесли они нас из своих циклопов. Приеду – оближу брату Ванюте ноги.
- Это не Ванюта наводил, а брат Алекс.
- Он?
- Он, а кто ж еще сквозь твердое видит?
- Светлая голова, дай Земля ему силы.
- Сколько проехали, Карпо?
- Спи, брат, – пробасил из кабины Карпо. – Назад против ветру валтузим! Вишь, пороша повалила.
- Хорошо – следы заметет...

К горе приехали только на рассвете. Белое северное солнце ненадолго показалось из-за неровного белого горизонта, Освещенная им гора могуче выступала над невысокими сопками. Широкое основание ее поросло кедрачем и лиственницами, круглая вершина сияла девственным снегом-

Когда подъехали к укывищу, уставший, осунувшийся лицом Карпо заглушил мотор:

- Доползли, слава Земле. Подъем! Спящие в салоне братья зашевелились:
  - Ой, Мать Сыра Земля, неужли дома?
  - Карпо, сердешный, довез как в люльке...
  - Ну, братья, а мне опять лето грезилось. Будто все за медвежьей ягодой идем, а брат Марко славицы поет...
  - К трапезе опоздали, как пить дать...
- Все вылезли из снегохода. Федор захватил мешок с голубым салом, которое на солнце так же светило сквозь холстину, как и в темноте. Этот необычный и неземной свет заставил братьев смолкнуть.
- Да... – высморкался на снег Иван. – А может и не зря мы подставлялись. Чудная вещь. Сгодится ли?
  - Не сумлевайся, брат Иван, – поежился Николай. – Еще сам себе спасибо скажешь.
  - Хорошо бы! – крикнул Иван и, скрипя снегом, пошел в гору
- Братья двинулись за ним. Подъем был долгий. За сутки навалило снега и тропу местами совсем замело. Иван шел, прокладывая дорогу. Когда дошли до ворот заброшенной шахты, он снял ушанку и вытер ею покрасневшее, потное лицо:
- Фупс... отдышитесь.

Вокруг из-под снега торчал ржавый металл – куски оборудования, рельсы, мятые вагонетки. Братья присели кто где и тихо сидели, приходя в себя, Лица их посерьезнели,

они не смотрели друг на друга. Невысокое солнце холодно освещало их грубые лица. Сидели долго. Наконец Иван вздохнул и тихо произнес:

– Ну, войдемте, братья.

Все встали и вошли в полусгнившие, распахнутые ворота шахты. Здесь было сумрачно; ржавые, еле различимые рельсы вели в темноту. Братья пошли по ним и шагов через двести оказались возле лифтов, Иван пошарил рукой в темноте, вытащил палку с пропитанной соляжкой тряпкой, клацнул кресалом. Тряпка нехотя загорелась. Иван оттянул раздвижную дверь лифта:

– Брат Федор, ступай первым.

Федор встал на порог кабины, глянул вниз. В лифте не было пола. Вместо него виднелись несколько привязанных к швеллерам канатов. Федор кинул вниз мешок с голубым салом. Мешок быстро упал. Сверху было видно, как он лежит, скупо освещая голубым выработанным широкою штольню.

Федор схватился за канат и съехал вниз. За ним стали спускаться остальные. Иван запер дверь лифта на болт и съехал последним. Все семеро на секунду замерли возле каната, затем сняли шапки, опустили на колени и шесть раз поцеловали твердый пол штольни. Иван взял мешок, забросил на спину и двинулся вперед – к слабо горящим в темноте огонькам.

Штольня была широкой, со следами стальных зубьев на стенах, с обрывками кабелей и ржавым хламом, валяющимся где попало. Огни приблизились и вскоре осветили конец штольни. Здесь слышались голоса и двигались человеческие фигуры.

– Слава Земле! – окликнули братьев.

– Земле слава! – ответил за всех Иван.

Пришедших молча обступили одетые в лохмотья бородатые люди и так же молча стали по три раза целоваться с каждым.

– Хорошо ли все, брат Иван? – спросил рыжебородый, широкоплечий человек Ивана.

– Слава Земле, брат Марко, все хорошо, – ответил Иван, опуская мешок на земляной пол. – Вот, ради чего животы надрывали.

Все посмотрели на светящийся мешок.

– Не уразумею – что это? – спросил Марко.

– Голубое сало.

– Позволь нам посмотреть, – попросил Марко.

– Не могу, брат Марко.

– Понимаю тебя, брат Иван, – почесал бороду Марко.

– Где брат Ванюта? – спросил Иван.

– В Малой пещере.

– Вы потрапезничали?

– Только что, брат Иван. Вам оставлено.

– Ну и слава Земле.

– Земле слава, – Марко шагнул в сторону, уступая дорогу Ивану.

Иван вошел в узкий проход. Пришедшие братья двинулись за ним.

– Я сам снесу, – остановил он их. – Ступайте трапезничать.

Братья нехотя отстали.

Иван не долго шел по темному проходу – справа показалась полоса желтого света. Иван нащупал рукой полуприкрытую дверь, постучал.

– Входи, брат! – раздалось за дверью.

Иван вошел в тесную пещеру. По углам горели несколько фитилей в банках с соляжкой.

Посередине на куче тряпья лежал, закрыв глаза, Ванюта; возле него стояла большая жаровня с углями. Поодаль сидели Митко с Николой и шили оленьи шкуры.

– Здравствуй, брат Ванюта, – проговорил Иван. – Здравствуй, брат Митко, здравствуй, брат Никола.

Митко и Никола поднялись и целованием приветствовали Ивана. Ванюта по-прежнему лежал с закрытыми глазами. Митко и Никола неотрывно смотрели на светящийся мешок. Иван присел рядом с Ванютой и трижды поцеловал его грязные щеки. Ванюта открыл глаза.

– Живой, брат, – сказал он.

– Слава Земле, все живы, – тихо проговорил Иван. Ванюта посмотрел на мешок, улыбнулся:

– Не помог им блядский бог!

– Не помог.

– А нам помогла Мать Сыра Земля?

– Помогла, помогла, брат Ванюта. Помогла блядей сокрушить. Помогла взять то, что надо.

– Говорил ты с блядями?

– Говорил, брат Ванюта, – Иван снял с шеи диктофон и положил на грудь Ванюте.

– Что ты понял из этого разговора?

– Ничего не понял, брат Ванюта.

– Ну и славно, брат Иван. Ты ступай теперь.

Иван помолчал и произнес:

– Брат Ванюта. Скажи, зачем нам сподобилось это голубое сало?

– Про то, брат Иван, не дано пока ведать ни мне, ни тебе. Потерпи. Откроются тайны великие. Спасибо тебе за все от всего братства. Ступай.

Иван вышел.

Ванюта заглянул в мешок, достал кусок голубого сала, поднес к лицу и долго рассматривал. Митко и Никола, онемев смотрели на сало.

– Слава тебе, Земля Теплая, – Ванюта убрал сало в мешок, встал и скомандовал: – Отворите.

Митко и Никола сдвинули в сторону кучу тряпья. Под ней оказался стальной люк. Они откинули крышку люка.

Из отверстия хлынул поток электрического света. Вниз вела сварная металлическая лестница.

Ванюта взял мешок в левую руку и полез вниз, цепляясь правой за прутья. Люк над ним тут же закрыли.

Внизу было теплее и светлее, чем наверху. Пространство выработанной штольни освещали десятки электрических светильников, каменистый пол был чисто подметен, нигде не было мусора или остатков шахтерского оборудования. Две электрические отопительные системы со слабым гудением подавали в штольню теплый воздух. Из штольни вглубь горы уходили четыре прохода. Они были так же хорошо освещены. В проходах виднелись ответвления. То здесь то там появлялись люди в коричневых балахонах, неспешно следующие по своим делам-

Едва ноги Ванюты коснулись чистого пола, к нему подошли двое в балахонах с топорами на поясах.

– Слава Земле, – проговорил Ванюта.

– Земле слава, – ответили стражи.

– Я к отцу Зигону, – Ванюта поудобнее перехватил мешок.

Один из стражей слабо и прерывисто свистнул. Из среднего прохода показался человек в балахоне, подошел.

– Проводи его к отцу Зигону, – приказал страж. Человек повернулся и зашагал прочь, Ванюта тронулся следом. Проводник повел его по быстро сужающемуся проходу. Вскоре им пришлось двигаться боком, пробираясь сквозь неровную каменную щель. Наконец щель раздалась, Ванюта и проводник оказались в большой пещере. Из каменистой стены выступала белая дверь с латунной ручкой. В двери виднелась совсем маленькая дверца. Проводник открыл ее, вложил свои узкие губы в проем и тихо произнес:

– Брат Ванюта.

– Очень хорошо, – слабо раздался за дверью спокойный голос. – Впусти.  
Дверь отперли изнутри и Ванюта вошел в трехкомнатную квартиру, обставленную простой деревянной мебелью.

Проводник остался за дверью, в прихожей перед Ванютой стоял слуга отца Зигона – Ашот.  
– Иди, иди сюда, – раздалось из гостиной. С мешком в руке Ванюта прошел в гостиную – большую, белую, с книжными стеллажами по стенам, с хрустальной люстрой в стиле модерн, с подушками из оленьей кожи вместо стульев. Посередине гостиной на желтом сосновом полу идеальным конусом была насыпана тщательно просеянная земля. Отец Зигон стоял перед землей на коленях, шепча что-то и прикрыв глаза. Ванюта сразу тоже опустился на колени, склонил голову

– Встань, – приказал отец Зигон, легко вставая. Он был худой, невысокого роста, с умным живым лицом, обрамленным аккуратно подстриженной бородой. Коричневая тройка идеально сидела на нем, высокий воротничок белой рубашки стягивал черный шелковый платок с кристаллом горного хрусталя.

Ванюта не успел подняться с колен, как быстрые руки отца Зигона выхватили у него мешок с голубым салом, и через секунду отец уже вынимал из мешка, рассматривал и клал на пол светящиеся голубые куски.

– Погаси свет, – приказал он слуге.

Гостиная погрузилась в полумрак. Куски сала, появляющиеся из мешка и лежащие на пол один к одному постепенно освещали гостиную голубым. Отец Зигон выложил все куски, кинул мешок в сторону и опустился рядом на подушку. Всего кусков оказалось двенадцать. Ванюта стоял, сложив руки на животе. Отец Зигон долго смотрел на голубое сало, затем с тяжелым вздохом опустил лицо в ладони:

– Когда ты последний раз плакал? Ванюта задумался:

– Я... в декабре, отец Зигон.

– А почему ты плакал?

– Мне приснился лес, отец Зигон.

– Лес? И почему же ты плакал?

– Он был очень красивый.

– А смеялся когда ты в последний раз? Сильно смеялся?

– Когда отца Марона хоронили.

– Ну, мы тогда все смеялись. Погребение – веселая вещь. А сам по себе?

– Сам по себе я... не смеялся, отец Зигон. Отец Зигон понимающе кивнул и надолго замолчал, спрятав лицо в ладони. Прошел час с лишним. Ноги стоящего Ванюты затекли и онемели, колени стали подгибаться.

Вдруг отец Зигон поднял свое лицо:

– Подойди.

С трудом переставляя ноги, Ванюта подошел. Отец Зигон схватил его за ноги и рванул на себя. Ванюта рухнул навзничь, гулко ударившись головой о паркет. Отец Зигон встал, зачерпнул горсть земли и с силой бросил Ванюте в глаза. Ванюта со стоном прижал руки к лицу.

– Было два человека, – тихо, но внятно заговорил отец Зигон, убирая руки в карманы и медленно прохаживаясь по гостиной. – Всего два. Один был выше среднего роста. Другой тоже не маленький – каждый раз притолоке кланялся. Первого звали Земеля, второго – Сол. У Земели судьба была тяжелая. Даже – страшная. Родился в обеспеченной интеллигентной семье, окончил среднюю школу, поступил в лесотехнический институт, женился на четвертом курсе. А на пятом – подучил Сола трогать чужие книги. Не читать – а именно трогать. Любой ценой пробраться в чужую квартиру – и трогать, трогать, трогать книги. Сказал, что это помогает при туберкулезе легких. А Сол – человек доверчивый и впечатлительный – поверил. И трогал чужие книги всю свою долгую жизнь – до семидесяти восьми лет. Трогал всегда правой рукой. Поэтому, когда его перед казнью дактилоскопировали, с правой руки отпечатков пальцев снять не удалось – кожа стерлась о

книги. А с левой все было в полном порядке. Поэтому именно ее сначала высушили в горячем песке, а потом залили вареным сахаром. Вон она. В книжном шкафу. Между Бабелем и Борхесом. Я же давал тебе лизать ее, мерзавец. Забыл? Нет, свинья. Такое не забывается...

Он помолчал, словно вслушиваясь в слабые стоны Ванюты, потом кивнул стоящему в дверях Ашоту:

– Убери этого слизняка.

Ашот схватил Ванюту за шиворот и поволок к двери.

– Отец Зигон... Там еще диктофон... – простонал Ванюта, шаря у себя на груди.

Диктофон упал на пол. Ашот выволок Ванюту за дверь квартиры и захлопнул ее. Слышно было, как Ванюту поволокли по каменному полу прохода.

Зигон поднял диктофон, сунул в карман пиджака.

– Отец Зигон, подавать полдник? – спросил вернувшийся Ашот.

– А что сегодня? – рассеянно спросил Зигон.

– Овсяный кисель с постным маслом и клюквенный морс.

– Нет... Потом... – Зигон осмотрелся, ища что-то. – Где чемодан?

– Какой? – осторожно спросил Ашот.

– Тот самый, – Зигон угрюмо посмотрел на Ашота. Ашот вышел и вернулся с небольшим старым чемоданом из свиной кожи. Зигон открыл чемодан, сложил в него голубое сало. В гостиной сразу стало темно. Зигон вышел с чемоданом в руке, прошел в свой кабинет и запер дверь на ключ.

Кабинет был небольшой, но уютный: обитые зеленым сукном стены, мягкая мебель, стол красного дерева. Зигон подошел к столу, вставил ключ в бронзовые часы без стрелок, повернул. Затрещала пружина, послышалось гудение, и стол отъехал в сторону, открывая проход вниз. Зигон шагнул туда и стал спускаться по деревянной винтовой лестнице. Спуск был недолгим – лестница вела в большой полутемный зал с мраморным полом и мраморными стенами. В зале стояли десять мраморных столов, за которыми сидели лысые люди в черных костюмах. На столах горели зеленые лампы. На стене висел подсвеченный зеленым светом герб из горного хрусталя, яшмы и гранита: человек, совокупающийся с землей.

– А! Господин Зигон! – воскликнул один из сидящих. – Ну, наконец-то! Мы ждем вас с утра! Господа! Сидящие встали и сдержанно склонили лысые головы.

– Как хорошо, что вы пришли! Вы не представляете – как это хорошо! – человек подбежал к Зигону и с силой сжал ему руку – Андреев! Скажите сразу – все нормально, или нет?

Только – да, или – нет! Два слова!

– Да, – произнес Зигон.

Андреев в восторге закрыл глаза и потряс маленькой головой:

– Великолепно... Господа! Господа! Все получилось! Поприветствуем же бесстрашного и решительного господина Зигона!

Лысые зааплодировали. Андреев нажал ногой на мраморную педаль, и у фронтальной стены зала, прямо под гербом, из пола выдвинулась мраморная трибуна.

– Просим вас, господин Зигон! С чемоданом в руке Зигон прошел на трибуну и встал, прижав чемодан к груди. В зале наступила полная тишина.

– Мне трудно говорить, господа, – заговорил Зигон. – Трудно как человеку, трудно как члену нашего ордена. В этом чемодане находится то, ради чего мы... мы... нет...

Он замолчал, бледнея. Голова его стала мелко вздрагивать, по лицу прошла судорога, побелевшие руки вцепились в чемодан. Зигон шумно выдохнул, набрал в легкие воздуха и вдруг запел низким, замечательного тембра басом:

– Нееет! Нет! Нееееет! Нееет! Нееееееееет! Нет! Нет! Нееет! Нееееет! Нет!

Нееееееееееееееееееет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нееет! Нет!

Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееет! Нет! Нет! Нееееет! Нееет! Нееееет!

Нееееееееееееееет! Нет! Нет! Нет! Нееееет! Нет! Нееет! Нет! Нет! Нееееет!

Нееееееееееееет! Нееееееет! Нет! Нет! Нет! Нееееееет! Нееееееееееет! Нет! Нет!  
Нееееееет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нееееееет! Нет! Нет! Нееееееееет! Нееееееет! Нет!  
Нет!

Его слушали затаив дыхание. Лицо Зигона покраснело от напряжения, пот выступил на лбу и крупными каплями закапал на потертую кожу чемодана. Он пел с невероятным воодушевлением, сочный бас его заполнял гулкое пространство зала. Прошел час, Потом второй. Лицо Зигона стало бледнеть, пот, лившийся градом, высох, голос стал слабеть, в нем появились первые признаки хрипа. Прошел еще час. Лицо Зигона посерело, под глазами обозначились синие круги, бесцветные губы раскрывались и изо рта исторгался уже не раскатистый бас, а глухой клокочущий клекот. Прошел еще один час, затем еще и еще один. Зигон стоял на трибуне с окаменевшим лицом серо-зеленого цвета, глаза его закатились, белки сверкали в полумраке. Рот его открывался как бы сам, отдельно от тела, изо рта вылетали странные нечеловеческие звуки. Они звучали долго, очень долго – мраморная минутная стрелка еще три раза описала круг. Наконец из раскрывающегося рта Зигона не вылетело ни звука. Пошатываясь, Андреев подошел к своему столу, выдвинул ящик, достал золотой пистолет с мраморной рукояткой, тщательно прицелился и выстрелил.

Мраморная пуля попала Зигону в рот. Он дернулся и, не закрывая рта, рухнул.

– Садитесь, господа, – опустил пистолет Андреев, и все с облегчением опустились на мраморные, с подушками зеленого бархата, стулья.

Андреев убрал пистолет в стол, подошел к труп, все еще сжимающему чемодан, вынул из кармана убитого диктофон, взял чемодан и нетвердой походкой зашел к выходу.

– Арсений, а как же декларация? – спросил один из сидящих.

– Две минуты, господа. И мы продолжим, – проговорил на ходу Андреев, потянул за ручку массивную мраморную дверь и вышел из зала в коридор. Здесь было светло, горели матовые плафоны, на блестящем от лака полу лежала зеленая ковровая дорожка. Андреев пошел по ней, свернул за угол, остановился перед резной дубовой дверью и постучал.

Дверь открыл лысый человек в черном костюме:

– Прошу вас, Арсений. Магистр ждет вас.

Андреев вошел в прихожую кабинета. Секретарь отворил дверь и проводил Андреева в кабинет. За огромным пустым столом сидел магистр – полноватый широкоплечий человек в белом костюме, с гладко выбритыми головой и лицом.

– Ваше Соответствие, – склонил голову Андреев.

– Сколько? – спросил магистр.

– Еще не взвешивали, господин магистр, – поспешно ответил Андреев.

– Есть повод приобщиться к точным наукам, – магистр тяжело приподнялся, тронул инкрустацию на стенной деревянной панели. Панель сдвинулась в сторону, открыв проход.

– Идите за мной, – шагнул в проход магистр.

Андреев двинулся следом.

Проход вел в лабораторию. Семнадцать человек в красных халатах работали над Машиной, не обращая внимания на вошедших. Магистр подошел к эталонным весам, надел резиновые перчатки, снял стеклянный колпак, открыл коробку с набором платиновых гирь.

– Откройте, – скомандовал он Андрееву Андреев открыл чемодан. Магистр стал вынимать куски голубого сала и аккуратно класть на платиновую чашу весов. Когда все двенадцать кусков оказались сложенными на чаше в форме голубого брикета, магистр выбрал десятикилограммовую платиновую гирю и поставил на вторую чашу. Весы не двигались. Он добавил килограммовую гирю. Чаши ожили и закачались. Магистр взял горсть мелких гирь и ставил их на чашу, пока весы не замерли.

– Одиннадцать тысяч двести пятьдесят восемь платиновых граммов, – подытожил магистр и громко позвал. – Борух!

Один из работников отложил инструменты и подошел к магистру

- Готовь форму, – приказал магистр, Работник отошел.
- Ваше Соответствие, еще диктофон с записью, – Андреев подал магистру диктофон,
- Они по-русски говорят? – спросил магистр.
- Блядь говорит на новорусском. Но все понятно.
- И это важно?
- Очень, ваше Соответствие.

Магистр взял диктофон, посмотрел, подошел к прессу, положил на станину и нажал красную кнопку. Пресс опустился, диктофон затрещал. Когда пресс поднялся, магистр снял со станины расплющенный в пластину диктофон, подошел к измельчителю, бросил в заборник пластину, включил мотор и поставил регулятор измельчения на минимальный размер. Измельчитель заработал с оглушительным шумом, и вскоре под его барабаном на поддоне выросла кучка серебристо-серых опилок.

– Это не пыль, конечно. Но почти, – рассеянно произнес магистр, ища что-то глазами. – Подожди... а где теперь сахарница?

– Возле расточного станка, господин магистр, – ответил один из работников.

Магистр подошел к сахарнице, зачерпнул из заборника горсть сахара, бросил на поддон измельчителя и пальцем перемешал с опилками:

– Обыкновенная ложка найдется в нашей славной лаборатории?

Работник подал стеклянную ложку.

Магистр вытер ее о борт своего белого пиджака и передал Андрееву:

– Ешь.

Андреев зачерпнул с поддона и стал жевать. Появился работник с формой – плоским ящиком из золота. Магистр сложил в ящик куски голубого сала, поставил на подиум сахарницы, дернул рычаг Загудел нагреватель, запахло леденцами, и вязкая струя жженого сахара потекла в ящик.

– Все уверены, что человек – это альфа и омега всего сущего! – засмеялся магистр и покосился на Андреева. Андреев черпал ложкой с поддона, жевал и глотал. Жидкий сахар заполнил ящик. Куски голубого сала светились сквозь желтоватую вязкую субстанцию.

Магистр дождал пока сахар остынет, затем вставил ящик в черный кейс и вышел из основного входа лаборатории. Широкий коридор вел к лифту. Магистр подошел, отпер лифт ключом, вошел, нажал единственную кнопку. Лифт поехал вниз и вскоре остановился. Двери разошлись. Магистр шагнул из лифта в тесное, неправильной формы помещение с грязным кафельным полом, сплошь заставленное стеллажами с множеством небольших банок. В банках хранилась русская земля. Все банки были с подробными этикетками и располагались по алфавиту. Слои пыли покрывали стеллажи.

Магистр пошел между стеллажами по извилистому проходу, скудно освещенному редкими лампами без плафонов, и после долгого плутания оказался в небольшом закутке. Здесь стояла раскладушка с рваными одеялами и замызганной подушкой, серая тумбочка, электроплитка с темно-зеленым чайником, стол-тумба, покрытый цветастой истертой клеенкой. За столом, на металлическом стуле сидел маленький человек с длинной белой бородой и в очках со сломанной дужкой. Он пил крепко заваренный чай из алюминиевой кружки. На столе в коричневой бумаге лежал кусок вареной колбасы, надкусанный батон белого хлеба и четыре куска сахара-рафинада.

– Здравствуй, Савелий, – проговорил магистр. – Наше вам, – кивнул Савелий, шумно прихлебывая из кружки.

Магистр стоял с кейсом в руке, молча глядя на сидящего.

– Ну что, принес? – спросил Савелий.

– Да.

– Сколько?

– Одиннадцать тысяч двести пятьдесят восемь платиновых грамм.

Савелий усмехнулся:

– Ты б еще миллиграммы подсчитал! Сколько кусков-то?

- Двенадцать.
- Нормально... – Савелий допил чай и стал заворачивать хлеб, колбасу и сахар в бумагу. – А то твои орлы сказали – семь. Семь! Курам на смех...
- Он убрал сверток в тумбочку, протер запотевшие очки и посмотрел на магистра:
- Садись, батенька. В ногах правды нет.
- Магистр поискал глазами, куда бы сесть. Савелий указал ему на раскладушку. Магистр сел, раскладушка заскрипела под ним. Он положил кейс себе на колени и тяжело вздохнул.
- Что это ты, батенька, сопишь как корова стельная? Стряслось что?
- Да нет, все в порядке.
- Ой-ли? У вас – и все в порядке? У пауков в банке все в порядке быть не должно.
- Савелий, я с тобой посоветоваться хочу. – К вашим услугам.
- Понимаешь... – магистр вздохнул. – Не знаю с чего начать. Клубок какой-то...
- Начни с начала.
- Ты засахаренную руку Сола видел? На восьмом уровне?
- Батенька, я не только видел. Я ее раз двести пятьдесят лизал, когда приемщиком служил. Каждое утро, после общей молитвы. Помолимся Земле Теплой, потом приложимся – и на службу Хорошее время было.
- Понимаешь, со мной последние восемь суток что-то странное происходит. Вот мои руки – смотри, – магистр повернул к себе свои широкие белые ладони с пухлыми пальцами. – И вот каждый раз, когда я смотрю на них, – вот здесь, в запястьях, я вижу детские руки. Но золотые. То есть – в каждом своем запястье я вижу маленькую золотую детскую руку.
- Золотую? – спросил Савелий.
- Это как бы живое золото. Не металл. Они подвижны, как нормальные детские руки, но золотые, с таким красноватым отливом. И эти ручки имеют свой язык. Это не язык глухонемых, построенный на комбинациях пальцев, а язык, основанный на поворотах этих ручек. Они вращаются вокруг своих запястьев – вправо-влево, влево-вправо. Полные обороты, неполные, полуобороты, четвертьобороты – это их язык. Несложный. Я понял его сразу
- Сразу?
- Да-да. Два оборота по часовой – это буква А, два оборота против часовой – Е, полуоборот по часовой – О, против часовой – М, и так далее. Простой, совсем простой язык.
- И что тебе передают эти золотые ручки?
- Разное, разное. Иногда это короткие сообщения, иногда – длинные, очень длинные тексты.
- И какого рода сообщения?
- Ну, например: «Знай о втором прободении Марка». Или: «Половины шаров заставляют попробовать мясную картечь».
- А длинные тексты?
- Вот это самое... необычное. И я не знаю, что это такое.
- Ну, а что это за тексты?
- Магистр достал из внутреннего кармана пиджака листки бумаги, развернул:
- Со вчерашнего дня я их стал записывать. Это – самый короткий текст. Послушай...
- Дай я сам прочту, – Савелий забрал у магистра листки, расправил на столе и стал читать.

## **Заплыв**

- Цитата номер двадцать шесть, слушай мою команду! – низкорослый маршал войск речной агитации сипло втянул в себя ночной воздух и прокричал: – Зажечь факела! Длинная колонна, выстроенная на набережной Города из мускулистых голых людей, качнулась, ожила еле заметным движением: тысяча рук метнулись к тысяче бритых висков, выхватили из-за ушей тысячу спичек и чиркнули ими по тысяче голых бедер.

Крохотные огоньки одновременно подскочили кверху, и через мгновение маршал судорожно сощурил привыкшие к темноте глаза: факелы вспыхнули, языки пламени метнулись к темно-фиолетовому небу

Маршал придирчиво ощупал глазами ряды голых тел и снова открыл рот:

– Не меняя построения, соблюдая дистанцию, в воду вой-ти!

Построенная особым порядком колонна тронулась и, не слышно ступая босыми ногами, стала быстро сползать по гранитным ступеням набережной к черной неподвижной воде Реки. Вода расступилась и впустила в себя весь полк. Солдаты осторожно погружались в студеную сентябрьскую воду, отталкивались от каменистого дна и плыли в том же порядке, держа над бритыми головами ярко горящие факелы. Через минуту колонна выплыла на середину Реки, где быстрое течение подхватило ее и понесло.

Самым тяжелым условием в агитационных заплывах для Ивана был запрет перемены рук. Плыть в ледяной воде он мог долго, но пять бесконечных часов держать в предельно вытянутой руке шестикилограммовый факел было по-настоящему тяжело. И как он ни готовился к заплыву, какими тренажерами не изнурял свою правую руку, – все равно к рассвету ее сводило мелкой дрожью и не было силы, способной обуздать эту проклятую дрожь. Инъекции, втирания, электромагнитная терапия не помогали.

Тем не менее, Иван считался лучшим пловцом в своем полку и ему вот уже шесть лет доверяли самые ответственные места в цитатах.

И сегодня он плыл запятой – единственной запятой в длинной, первой степени сложности цитате из Книги Равенства: **ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ СОВРЕМЕННОГО ЦЕЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БОРО ЯВЛЯЛСЯ, ЯВЛЯЕТСЯ И БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ВОПРОС СВОЕВРЕМЕННОГО УСИЛЕНИЯ КОНТРАСТА .**

Точка в конце цитаты не ставилась, поэтому единственным знаком препинания была запятая, рождаемая пламенем шестикилограммового конусообразного факела Ивана. Синхронное плаванье давалось Ивану легко – он, с детства выросший на море, давно признал в воде вторую стихию, а после четырех лет ВВАП (военно-водно-агитационной подготовки) вообще не представлял свою жизнь без этих долгих, пропахших рекой ночей, без черной, дробящей всполохи пламени, воды, без свинцовой боли, постепенно охватывающей руку с факелом, без предрассветного завтрака в чистой полковой столовой. Служба, словно Река, быстро и плавно несла Ивана: сначала его как новичка ставили в середины больших прочных букв Ж, Ш и Щ, потом, убедившись в точности его плаванья, стали постепенно смещать к краям. Так после двух лет он уже плавал левой ножкой Д, или вместе с рябым татаринцом Эльдаром составлял хвостик у Щ.

Еще через год Ивану поручили плавание в тире и восклицательных знаках, а после нанесения почетной татуировки «пловец-агитатор высшей категории» – доверили запятым. За семь лет службы Иван имел звание младшего сержанта, медаль «Государственный пловец», множество устных похвал перед строем и почетную грамоту «За образцовую службу при водном транспортировании VI-ой главы книги Аделаиды Свет „Новые люди“ (главу транспортировали в течение четырех месяцев, и каждую ночь Иван плавал запятой).

Он набрал в легкие побольше воздуха и медленно выпустил его в пахнущую илом воду. Факел наклонился, но пальцы привычно выпрямили его, крепче сжав металлический корпус.

Тело уже успело согреться, дрожь оставила подбородок, ноги послушными рывками стригли воду. Впереди белели десять бритых голов вертикальной ножки Я, а за ними дрожала, зыбилась огненная масса факелов колонны.

Иван точно знал свое место – шесть метров от левой крайней головы, и плыл со спокойной размеренностью, сдерживая дыхание. Нельзя отклоняться ни влево ни вправо, нельзя торопиться, но и нельзя отставать, иначе запятая приклеится к другому Я.

Факел горел ярко, пламя часто срывалось вбок, тянулось к тяжело шевелящейся воде, плясало над ее поверхностью и снова выравнивалось.

Во время заплывов Иван любил смотреть на звезды. Сейчас они висели особенно низко, сверкая холодно и колюче.

Он перевернулся на спину, почувствовал, как вода обожгла бритый затылок, и улыбнулся. Звезды неподвижно стояли на месте.

Он знал, что опасно долго смотреть на них – можно не заметить, как сзади наплывет косая ножка Я, а бритые головы с ужасом наткнутся на отставшую запятую. Иван оглянулся. За ним в «косухе» и «полумесяце» плыли его товарищи: Муртазов, Холмогоров, Петров, Доронин, Шейнблат, Попович, Ким, Борисов и Герасименко. Лица их были спокойны и сосредоточенны, Иван понимал, что своей запятой делит это длинное, но очень нужное людям предложение пополам, и что без его факела оно потеряет свой великий смысл, Гордость и ответственность всегда помогали ему бороться с холодом. Сейчас он так же легко победил его, и осенняя вода казалась теплой.

Он снова посмотрел на звезды. Больше всего он любил созвездие, напоминающее ковш, которым полковой повар льет в солдатские миски вкусный суп из турнепса и плюхает наваристую перловую кашу с маргарином. И хотя он с детства знал, что созвездие носит имя Седьмого Пути, а эта колючая звезда на конце – Великого Преобразователя Человеческой Природы Андреаса Капидича, в памяти Ивана оживали не золотыеobelisks Храма Преодоления, не витые рога Капидича, а вместительный, сияющий ковш.

Он перевернулся и поплыл на правом боку. Уже сейчас в правой руке почувствовалась легкая усталость. И немудрено – в жестяной корпус факела залито шесть литров горючей смеси. Далеко не каждый человек способен проплыть пять часов в холодной воде, держа факел над головой. Иван понимал это с самого начала службы в ВВА. За семь лет его правая рука стала почти вдвое толще левой, как и у всех солдат полка. По мере того, как раздувались ее мышцы, наливались связки и лиловела кожа, в Иване росла гордая уверенность в себе и крепло чувство превосходства над гражданскими, у которых нет таких правых рук. С ранней весны и до поздней осени он носил рубашки с короткими рукавами, выставляя напоказ свою мощную руку. Это было очень приятно.

Вскоре монолиты гранитных набережных сузились, над цитатой проплыл Первый Мост и послышался слабый шепот невидимых зрителей. После моста набережные взметнулись вверх и стали постепенно наползать на полосу реки.

Иван сильнее сжал факел и выше поднял его. Он тысячу восемнадцать раз проплывал это место, эту грозную и торжественную горловину, но каждый раз не мог сдержать восторженной дрожи: за мостом начинался Город, и Река уже становилась Каналом имени Обновленной Плоты, пересекающим Город, Каналом, на набережных которого сегодня, как и тысячи тысяч раз собрались достойнейшие представители Города.

Через час нарастающий шепот усилился и повис над Каналом непрерывным пчелиным гулом. Гранитные набережные сдавили Реку настолько, что, лежа на спине, Иван мог видеть головы смотрящих вниз жителей Города. Здесь, внизу совсем не было ветра, вода лежала черным зеркалом и пламя факелов спокойно разрезало сырой воздух.

Правая рука дала о себе знать: в плече осторожно зашевелилась боль и вялой спиралью потянулась к побелевшим от напряжения пальцам. Постепенно она доберется до них и жестяной корпус покажется им картонным, ледяным, жирным, обжигающим, плюшевым, резиновым, а потом пальцы намертво сожмут пустоту и Иван потеряет свою правую руку до самого конца заплыва. И привычным, до мелочей знакомым окажется этот конец: в тусклом предрассветном воздухе два заспанных инструктора склонятся над Иваном, разжимая его белые, сведенные судорогой пальцы, не желающие расставаться с погасшим факелом, А Иван будет помогать левой рукой...

Он перевернулся и несколько раз выдохнул в воду.

Шум наверху усиливался, кое-где вспыхивала овация и двадцати метровые гранитные берега дробили ее многократным эхом.

«То ли будет, когда начнутся Основные районы!» – восторженно подумал Иван, вспоминая гром нескончаемой овации, заставляющий замирать сердце. Да, рабочие так хлопать не умеют...

Он покосился на руку. Боль уже овладела предплечьем, и остановить ее было невозможно. Правда, оставалось еще последнее средство, иллюзия борьбы, наивный паллиатив, помогающий на мгновение: если резко сжать пальцы и напрячь мышцы всей руки – боль испарится. На секунду

Иван скрипнул зубами и изо всех сил сжал конус факела. Раздался треск, словно раздавили яйцо, и что-то маслянистое потекло по руке.

Иван глянул и помертвел: еле заметная полоска шва разошлась, из корпуса факела текла горячая смесь. Он выхватил левую руку из воды, прижал ладонь к прорехе, факел наклонился и оранжевая вспышка мягко толкнула Ивана в лицо. Он шарахнулся назад, провалился в воду, вынырнул и всплыл в клубящемся огне. От его тела рвались жадные желтые языки, а вокруг расплывалось горящее пятно. Стремительный жар выдавил из Ивана протяжный крик. Он нырнул, вынырнул в середине Я, вспыхнул снова, закричал и замолотил руками по товарищам и по воде до тех пор, пока заплесневелый гранит не расколол его пылающую голову

Когда, стиснутая двумя крутолобыми Я, запятая ярко вспыхнула, зрители на набережных поняли, что это и есть тот самый Третий Намек, о котором говорил крылатый Горгэз на последнем съезде Обновленных. Мощная овация надолго повисла над Каналом.

Запятая, тем временем, исчезла, всплыла и развалила Я на желтые точки. Разрушив Я, запятая оказалась в верхнем полукруге В и буква податливо расползлась; сзади надвинулось Л, но, зацепившись за запятую, прогнулось и распалось; следующее Я каким-то чудом проплыло сквозь рой огней и благополучно двинулось догонять **ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ СОВРЕМЕННОГО ЦЕЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БОРО ЯВЛЯЛСЯ.**

Овация продолжалась, а на черном зеркале реки неспешно разворачивались дальнейшие события этой роковой ночи.

ЕТСЯ, вклинившись в самую гущу огненных точек, стало складываться гармошкой и превратилось в сложную фигуру, напоминающую переплет необычного окна; саморазрушаясь напозло И **БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ**, пополнив факельный рой; более осторожный **ВОПРОС** попытался обогнуть опасную зону, но расплющился о гранитную стену; длинное **СВОЕВРЕМЕННОГО** оказалось прочнее предыдущих слов и до последнего старалось выжить, извиваясь, словно гусеница в муравейнике; остальные слова конца цитаты погибли одно за другим.

Во время крушения овация гремела, не смолкая. И только когда распалось последнее слово, набережные постепенно смолкли. Толпа ночных зрителей оцепенела и, затаив дыхание, смотрела вниз.

Там шло лихорадочное движение: огни метались, роились, пытаясь выстроить вторую часть цитаты, но скелетоподобные полосы слов тут же разваливались на желтый бисер. Когда **ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ СОВРЕМЕННОГО ЦЕЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БОРО ЯВЛЯЛСЯ** Я благополучно проплыло Второй Мост, разделяющий своим чугунным телом два сословия. Основные массы встретили огненные слова такой громоподобной овацией, что огни факелов затрепетали, грозя потухнуть.

Когда небо на востоке порозовело и перед остатком цитаты распахнулись устья Шлюза, овация смолкла. Люди на набережных опустились на колени. За Шлюзом начиналось Особое Пространство с бронзовыми берегами, золотыми дворцами и невидимыми храмами. Там было совсем немного зрителей. Всего 513. Но каждый из них стоил

миллиардов простых смертных и каждый знал зачем этой ночью был ослаблен шов на факеле рядового Ивана Монахова.

Савелий сложил листки и передал магистру. Магистр посмотрел на них и убрал в карман.

– Знаешь, – Савелий снял очки, подышал на стекла и протер подолом своей длинной грязной толстовки, – у меня в хранилище 12 690 505 образцов русской земли. Плюс-минус два.

– А причем здесь... образцы? – спросил магистр.

– А притом, батенька, – Савелий сурово посмотрел на него. – Ты знаешь, что такое – плюс-минус два?

– Нет.

– Это две банки с землей, которые возникают из ничего. А потом опять исчезают. Две эдаких эфемериды, порожденные общей массой хранящейся здесь земли. А размах нашего хранилища тебе известен. У нас есть земля даже из-под брусчатки Красной площади. Со дна Байкала. С места, где пролилась кровь убиенного царевича Дмитрия.

– Я это все знаю, зачем ты сотрясаешь воздух?! – нервно воскликнул магистр.

– Я затем сотрясаю воздух, батенька, чтобы ты понял метафизику этих двух банок. Я их должен учитывать. Хотя я никогда не держал их в руках. И никто никогда не держал и не знает, что за земля в этих банках. А ты знаешь, ради чего я, мастер-землеед с двадцатилетним стажем, перевелся с шестого этажа в это хранилище? Чтобы когда-нибудь высыпать на свои ладони землю из этих плюс-минус двух банок. Высыпать, съесть и умереть.

– Я понимаю, – нетерпеливо вздохнул магистр. – Но какое это имеет отношение к моей проблеме?

– А какая твоя проблема? – спросил Савелий.

– Я не хочу, не желаю видеть в своих руках чужие руки! – закричал магистр.

– Тогда клади голову на стол! – прикрикнул на него Савелий.

Магистр опустился на колени и положил свою массивную голову на край стола. Савелий двинулся вдоль стеллажей, глядя на этикетки, и скрылся за поворотом. Его не было долго. Все это время магистр стоял на коленях, прижавшись щекой к истертой клеенке. В глазах его стояли слезы.

– Ну вот... – появился Савелий с банкой в руке. – То, что надо.

– Какая? – спросил магистр.

– Из деревни Полушкино Костромской области.

– А что там?

– Там жила одна женщина в середине прошлого века. По фамилии Наделина. У нее под избой был погреб. Чистый аккуратный погреб, в котором ничего никогда не стояло. И эта Наделина каждый год рожала по ребенку от разных отцов. И сразу убивала его. Всего Наделина родила двадцать шесть детей. И ни один ни выжил. Зато каждое утро она спускалась в свой погреб и поливала землю своим молоком.

– Ты веришь в эту землю? – спросил магистр.

– Конечно, – Савелий открыл банку, золотой ложечкой зачерпнул земли, плюнул в ложку и образовавшейся кашицей залепил магистру ухо. Магистр повернул голову на другой бок. Савелий залепил ему второе ухо и пошел ставить банку на место.

Магистр встал с колен, стряхнул с пиджака крошки земли, положил кейс на стол.

Вернулся Савелий.

– Когда вынимать? – слишком громко спросил магистр.

– На третьи сутки, – сказал ему Савелий. – Только водой не смывай.

– Что?

– Водой, говорю, не смывай! Пальцами расковыряй! Или лакеев своих попроси! – закричал ему в лицо Савелий

Магистр кивнул и пошел к лифту

Савелий взял кейс, достал из кармана связку ключей, отпер узкую дверь в стене рядом с холодильником, зажег свет. Он стоял в кубическом помещении, заставленном ящиками с пустыми банками. Из стены выступал круглый люк с винтовым замком. Савелий покрутил колесо, отпирая люк, потянул за скобу. Толстая стальная крышка люка плавно отошла в сторону Савелий убрал очки в карман, прижал кейс к груди и прыгнул в круглую дыру. Плавный пластиковый желоб понес его вниз, стал извиваться спиралью и вдруг обвалился вертикально: визжа, Савелий врезался в теплую прозрачную воду и долго всплывал, болтая тяжелыми ботинками и пуская пузыри.

– Ах-ты ебанный-смешной! – раздалось рядом с ним. – Все-таки пожаловал!

Савелий открыл глаза и жадно вдохнул теплый, насыщенный тончайшими ароматами воздух купальни. Над ним простиралась розовая полусфера купола, из центра которого он упал. Вокруг плескались искусственные волны. Трое деток подплыли к Савелию – золотобородый Тит, лысый вислоухий Вил и широколицый волосатый Кир.

Прижимая кейс к груди, Савелий месил воду ногами, с трудом держась наплаву.

– Что, разучился плавать, рукусуй? – захохотал Вил, обнажая золотые, инкрустированные бриллиантами и сапфирами зубы.

– У тебя жопа с собой? – ущипнул Савелия Тит, – Или ты ее тоже в банке держишь?

– А борода-то, борода! – Кир схватил бороду Савелия своей волосатой ручищей. – Когда вшей вычесывал? После Осеннего ебалова, небось? Глотни, глотни водицы, небойсь!

Кир потянул его за бороду вниз, Савелий скрылся под водой.

– Не балуй, детка! – шлепнул его по лбу Вил. – Кто землицу хранить будет?

Кир рывком вытащил Савелия из воды, поднял над собой. Савелий закричал, как раненый заяц – тонко и пронзительно.

– Чего спужался, милай! – Кир поднес его к лицу и сочно чмокнул в лоб.

– Хорош, детка, – шлепнул руками по воде Тит. – Пошли глянem, не хуев ли там сушеных пачка.

Он нырнул, подняв двухметровую волну, и вышел из купальни на позолоченные ступени.

Кир и Вил последовали за ним, и через мгновение Савелий стоял на ступенях, истекая водой и все так же прижимая к груди кейс.

Вил хлопнул пухлыми руками, появились шесть голых мальчиков с подвитыми напудренными волосами и шелковыми хитонами. Они вмиг накрыли троих деток, подвинули им сложной формы кресла из позолоченного дерева. Детки уселись – Савелий достал из кармана очки, протер, надел.

– И правда, чего у тебя борода такой длинной стала? – спросил Кир, загребая ручищей с серебряного блюда гроздь винограда. – Ты что ее подстригать не собираешься?

– Прид, пред, предо, – волнуясь, ответил Савелий.

– Он родную речь забыл, – откусил половину яблока Тит.

– Наверно, собственных бздехов наглотался! – усмехнулся Вил и детки громко захохотали.

Мальчики поднесли им золотые кубки с нектаром. Детки залпом осушили их и швырнули в купальню. Трое мальчиков кинулись в воду и вынырнули с тяжелыми кубками.

– Эта смена проворней утренней, – Тит сунул в рот горсть фейхоа, пожевал и шумно выплюнул. – Ну и с чем ты пожаловал, кладовщик хуев?

Савелий открыл кейс, вынул золотой ящик с залитым сахаром голубым салом, протянул деткам.

Кир взял ящик, посмотрел, потрогал:

– Это леденец?

– Прид, пред, предо, – закивал головой Савелий. Кир переглянулся с Видом:

– Думаешь, в леденце они возьмут?

Вил кивнул и почесал грудь. Кир лизнул ящик, передал Титу. Тит лизнул, протянул ящик Вилу. Вил провел по застывшему сахару большим и длинным языком:

– Вполне.

– Убери, как было, – Тит кинул ящик Савелию, который с трудом поймал его и убрал в кейс. – Ну что, детки, до экзамена не успеем?

– Тринадцать минут осталось, – Вил посмотрел на свои рубиновые часы.

– Обсушите его, – приказал Кир мальчикам. Мальчики стали раздевать Савелия. Под мокрыми толстовкой и парусиновыми штанами оказались длинные синие трусы и голубая майка. Мальчики сняли их и накинули на Савелия хитон.

– Покажи-ка нам свое муде, – рыгнул Вил. Савелий приподнял хитон. Детки неодобрительно посмотрели на его небольшие гениталии. Двумя своими огромными пальцами Вил потрогал мошонку Савелия:

– Не густо. Жопу покажи, Савелий повернулся к ним задом.

– А жопа вполне приличная! – воскликнул Тит. Детки молча потрогали ягодицы Савелия.

– Странно, да? – повернулся Кир к Вилу – Он же всю жизнь сидит на стульях. А жопа красивая-

– Это бывает, – серьезно кивнул Вил и щелкнул пальцами мальчикам. – Накормить и отправить вверх.

– А нам – одеваться! Одеваться! – захлопал в ладоши Тит.

Двое мальчиков повели Савелия к выходу, четверо побежали в платяную.

– Ты чемоданчик-то оставь, мудило! – засмеялся Кир. Савелий испуганно поставил кейс на пол и исчез с мальчиками за янтарной дверью.

Из платяной выбежали шесть слуг в обтяжных, переливающихся блестками костюмах. В руках они держали пульверизаторы, а за собой везли небольшие низкие коляски из чистого золота. Вслед за слугами выбежали трое мальчиков и сняли с деток хитоны. Детки приподнялись со своих замысловатых кресел. Огромные гениталии их вывалились на пол. Вил с трудом дотянулся и взял оставленный Савелием кейс. Слуги проворно подложили под гениталии коляски, детки пошли в платяную, толкая перед собой коляски с покрасневшими и раздувшимися после купания гениталиями. На ходу слуги принялись поливать гениталии деток духами из пульверизаторов.

– Быстро, быстро, быстро! – подгонял слуг Тит. В платяной деток обтерли насухо и облачили в темно-синие фраки с длинными фалдами. На гениталии надели огромные гульфики под цвет фраков. Волосы деток расчесали и напмадили, на лица наложили грим. В руки деткам вложили золотые посохи с набалдашниками в форме головы мамонта. Церемониймейстер распахнул двери, и детки вышли в коридор. Золотые колеса колясок покатались по полированному граниту. Детки вошли на территорию интерната и оказались возле лектория. У дверей стояла стража со стальными, усаженными шипами дубинами. Двери открылись, детки вошли в лекторий. Огромный, построенный по принципу древнегреческого театра зал был почти пуст. На мраморных ступенях сидели двадцать восемь молодых людей в коричневых хитонах – все воспитанники интерната.

Детки прошли на сцену, уселись на три массивных трона и трижды стукнули посохами по мраморному полу.

В шестом ряду встал воспитанник, прошел на сцену и стал, повернувшись к залу. Все воспитанники встали.

– Благословенна Земля наша Сибирская ныне и присно и во веки веков! – громко произнес воспитанник.

Воспитанники коснулись левой рукой лба, груди, гениталий и пола. Детки приложили набалдашники посохов к своим огромным гульфикам.

– Садитесь, братья! – скомандовал Вил. – Тема сегодняшнего экзамена – «Великое Противостояние 7 сентября 2026 года». Кто пожелает начать?

Поднялось несколько рук. Вил указал посохом на одного из воспитанников. Тот встал:

– Брат Сергей Панитков. К 2026 году среди высших иерархов Ордена Российских Землеёбов наметились серьезные и принципиальные разногласия. Как известно, после исторического размежевания на V-ом Соборе и последующего за ним Позорного Разделения, Орден разделился на южных и северных землеёбов. Южные землеёбы

обосновались в Поволжье в теплых черноземных степях близ Урюпинска, северные землеёбы расположились в Восточной Сибири в суровой тайге между Подкаменной и Нижней Тунгусками. Южных возглавлял сочник Василь Битко, северных – землеед отец Андрей Утесов. Южных землеёбов к сентябрю 2026 года было 3 115, северных – 560. Разделение на V-ом Соборе имущества Ордена прошло в пользу южных – они получили почти 70%. Кроме того, три из четырех Главных Святынь Ордена оказались в руках южных. Подлая и двурушническая...

– Каких Святынь? – перебил Тит.

– Земляного Хранилища, Малой Ебальной Ступы и Святых и Сокровенных Мощей Первого Проебателя Земли Русской Петра Авдеева.

– Хорошо. Вещай дальше, – кивнул Тит.

– Подлая и двурушническая политика Василя Битко всегда была направлена на Позорный Раскол и уничтожение северного крыла Ордена. Деградирующий духовно, ослабленный плотскими излишествами, Василь Битко мечтал только об одном – алмазном наконечнике и медвежьей шкуре Великого Магистра. Последним Великим Магистром перед Позорным Разделением был Его Наивысшее Равновесие Митрофан Болотый, убийство которого 20 ноября 2025 года и привело...

– Неверно! – перебил Вил. Воспитанник замялся и продолжил:

– 20 ноября 2025 года произошло убийство Его Наивысшего Равновесия Великого Магистра Ордена Российских Землеёбов Митрофана Болотого.

– Неверно. Подумай, брат Сергей Панитков. Воспитанник задумался, открыл рот:

– 20 ноября 2025 года в местечке Бобровое Воронежской области во время осенней Ебли Земли Русской произошло убийство Его Наивысшего Равновесия...

– Неверно, неверно! – прикрикнул Вил и воспитанник замолчал.

– Кто скажет правильно? – обратился Вил к аудитории.

Поднялось несколько рук. Вил указал посохом на одного из желающих высказаться.

– Брат Анатолий Большаков, – встал молодой, но седой воспитанник, – 20 ноября 2025 года произошло Подлое и Коварное убийство Его Наивысшего Равновесия Великого Магистра Ордена Российских Землеёбов Митрофана Болотого.

– Верно, брат Анатолий Большаков. Садись. Продолжай, брат Сергей Панитков.

Экзаменуемый продолжал:

– Это Подлое и Коварное убийство и привело к Позорному Разделению Великого Братства Российских Землеёбов. Чтобы сокрушить одним ударом северное крыло Ордена, Василь Битко посылает в далекую Сибирь так называемую Гнилую Троицу – трех своих идеологов по Разделению и сотоварищей по Блудодействию Окаянному: магистра Зубра, детку Кия и брата Афанасия Петровых. Под видом миролюбивых гостей от южных братьев, прибыли они 4-го сентября 2026 года в пещеру северных, привезя с собой «в подарок» Малую Ебальную Ступу, шесть кубометров поволжского чернозема и четыре тонны сушёной свинины. Отец Андрей Утесов встретил их внешне радушно и приветливо, но внутренним видением своим сразу понял истинную цель Гнилой Троицы. «Это три стрелы, напитанные гноем Разделения и посланные в нас Двурушником Василем, чтобы сокрушить нас как сосуд пустой, – изрек отец Андрей высшим иерархам северных на тайном бдении в ночь с 4-е на 5-е сентября. – Зальем же Сосуд Братства Нашего Свинцом Единства Нашего, дабы сломались вражьи стрелы». Гнилая Троица выступила с предложением собрать Общее Толковище 7 сентября и обсудить на нем Тайное и Явное. Отец Андрей дал согласие. И вот настало утро Великого Противостояния. Как только солнце позолотило макушки вековых кедров, все 560 братьев вместе с Гнилой Троицей покинули пещеру и взошли на Дающий Холм, Благодатную Землю которого братство орошало семенем своим. Здесь же повелела Гнилая троица ссыпать привезенный ими поволжский чернозем. Отец Андрей по ритуалу предоставил гостям первое слово. Гнилая Троица опустила на колени и заговорила в один голос...

– О чем? – неожиданно указал посохом на белокурого воспитанника детка Кир.

Воспитанник встал:

– Брат Матвей Сорочан. Гнилая Троица заговорила поперву о Традиции и Наследии. Ну, и конечно же – об Истоках Российского Землеёбства. Она, это, сделала упор на то, что Первый Проебатель Земли Русской Петр Авдеев ебал Русскую Землю поперву под Черниговым, а уж потом подался на Север – в земли Псковские и Новгородские. И, опять же, о Дневнике его толковала Позорная Блядская Гнилая Троица, о той записи... кажется... 2009 года, июля месяца... да... июля месяца... и в той записи Первый Проебатель Земли Русской написал...

– Что написал? – посох детки Тита остановился на воспитаннике с монголоидным лицом.

– Брат Толпан Мархид! – вскочил воспитанник. – Великий Проебатель Земли Русской в своем Дневнике написал: «Слаще Черниговских черноземов да Полесских глин не ебалось мне ничего и нигде. По шесть разов на дню пускал в них спермии свои со слезами благими и уханьем безутешным, а вставши, целовал места совокупления с сердечным плачем, потому земли те сладки и проебательны до изжоги духовной».

– Что далее последовало на Великом Противостоянии?

– Далее Позорная Гнилая Троица подняла три разных руки своих и указала перстами на привезенную землю поволжскую и рекла: «Вот, братие северяне, земля истинно достойная Великого Наследия, ибо входят в нее хуи российских землеёбов как нож в масло коровье. Тепла, податлива и благодатна Земля Поволжская, всем жаждущим дает, всех страждущих привечает, всех скорбящих утешает. Ждет она вас, заблудших, на севере студеном обретающихся, кореньями да ягодой пропитающихся, о сопки каменистые свои хуи ломающих, ради упрямства своего, Приидите же к нам в пещеры теплые и просторные, в место Посев, что близ Урюпинска, вонзите замозолившие хуи свои в Теплую Землю Единства Нашего, встаньте под начало Сочника и Землелюба Василя Битко, возложите на хуи его алмазный наконечник, на муде его рубиновые сферы, на плечи его шкуру медвежью, и да обнимемся мы все под сенью его жезла Великого Магистра». На что отец Андрей Утесов ответил...

– Что же ответил Гнилой Троице землеед отец Андрей Утесов? – спросил Вил.

Все воспитанники подняли руки. Детки улыбнулись.

– Брат Сергей Панитков! – скомандовал Вил.

– На что отец Андрей Утесов обнажил десятивершковый хуй свой, лег на Дающий Холм и проебал три раза подряд родную сибирскую землю, с криком и уханьем. Затем встал он и рек: «Братие! Только что на глазах ваших три раза испустил я семя свое в Землю Восточной Сибири, в Землю, на теле которой живем мы, спим, дышим, едим, срем и мочимся. Не мягка, не рассыпчата Земля наша – сурова, холодна и камениста она и не каждый хуй в себя впускает. Посему мало нас осталось, а слабохуи сбежали в земли теплые, всем доступные. Земля наша – хоть и камениста, да любовью сильна: чей хуй в себя впустила – тот сыт ее любовью навек, того она никогда не забудет и от себя не отпустит. Так скажу вам: кто хочет – ступай себе в теплые земли, не держу я здесь никого, так как братья мы, а не невольники. Только мне другой земли не надо – здесь ебал, здесь ебу, здесь ебать буду до червья могильного».

– И что потом произошло? – спросил довольный Вил. – Отвечайте хором, братья.

Воспитанники встали и заговорили хором:

– Так была посрамлена Позорная Гнилая Троица, а вместе с ней Двuruшник и Предатель Василь Битко, которого задушили братья землеебы 12 октября 2026 года в пещере Серечь.

– Садитесь все! – скомандовал Вил. Воспитанники сели. Детки посоветались вполголоса, затем Тит объявил:

– Мы довольны. Брату Сергею Паниткову за серьезную ошибку в толковании Священной Истории Землеёбства Российского – погребение на двое суток.

Воспитанники встали и поклонились. Появились трое слуг в серебристых костюмах, с поклоном отстегнули у деток темно-синие гильфики. Детки остались сидеть на тронах,

выставив свои гениталии. Воспитанники стали подходить к ним, прикладываясь к головкам членов и тихо, с поклонами выходить из зала.

Когда все закончилось и слуги пристегнули гульфики, детки встали и направились в трапезную.

Здесь был уже сервирован стол в форме треугольника, официанты сняли с блюд серебряные полусферы, зазвучала русская народная музыка, заструился аромат полевых цветов. Официанты кинулись подвязывать деткам накрахмаленные салфетки.

– Детки, я не успеваю, – посмотрел на свои рубиновые часы Вил. – Трапезничайте без меня.

– Детка Вил, – опустил на свое место Тит, – доколе нам быть в неведении?

– Детка Тит, я знаю то, что и ты.

– Может и мне пойти с тобой, детка Вил? – спросил Кир, разламывая пополам фаршированного глухаря и передавая половину Титу.

– Детка Кир, есть Ритуал писанный и неписанный, – держа кейс с голубым салом в одной руке, Вил поднял другой серебряный кубок с густым брусничным соком, осушил одним духом и поставил на стол. – Есть компромиссы и компромиссы.

– Но есть также и общая стратегия Ордена, – захрустел глухаринными костями Кир.

– Мы и так последнее время только уступаем, – Тит оторвал голову у жареного кабаненка и привычным движением хрястнул ею о край стола, разбивая череп. – Как бы нам не пришлось переложить муде с золотых тележек на деревянные.

– Сибирь не обеднела золотом, детка Тит. Ты доверяешь мне? – Вил посмотрел в желтые глаза Тита.

– Детка Вил, кому мне доверять, если не тебе! – вздохнул Тит и шумно высосал мозг из головы кабаненка.

– А ты, детка Кир? – Вил тронул кончиками пальцев голову жующего Кира.

– Как своей залупе! – прорычал Кир.

– Тогда положитесь на меня, – Вид медленно развернулся, скрипя колесами, и вышел с кейсом в руке.

В транспортной Вила давно ждали – восемь рабочих стояли возле готовой к спуску Большой корзины.

– Спуск! – скомандовал на ходу Вил. Рабочие подхватили его на руки, внесли в корзину, раздвинули пол и заскрипели барабанами – корзина, покачиваясь на четырех толстых канатах, стала медленно опускаться вниз. Ее спускали долго по темному сырому колодцу; раскачиваясь, Вил смотрел на каменные стены с сочащейся водой и иногда громко плевал на них. Становилось все темнее.

Наконец корзина коснулась дна. Вил с трудом вылез из нее и двинулся наощупь в темноте – туда, где поблескивал огонь. Коляска его подпрыгивала на неровностях каменистого пола, гениталии сотрясались. Света впереди стало больше, он был изумрудного оттенка. Вил дошел до каменной арки и оказался в зале, стены которого источали все тот же сдержанный зеленоватый свет.

– Приветствую тебя, детка! – раздался голос. – Раздевайся и ступай ко мне!

Появились карлики в зеленой одежде. Они раздели Вила, сняли с его руки часы, вынули из-под гениталий коляску и пригласили его сесть на ковер. Держа кейс и с трудом волоча гениталии по полу, Вил дошел до ковра и сел. Карлики быстро поволокли ковер по полу. Вил сидел, полусонно глядя на интерьеры проплывающих пространств; все они были выдержаны в зеленых тонах.

Тянущие ковер карлики остановились перед темно-зеленой дверью.

Двое привратников с автоматами растворили дверные створы, Вил приподнялся и, пыхтя, двинулся вперед, толкая коленями собственные гениталии.

Великий магистр сидел на войлочной подстилке на полу маленькой и совершенно пустой комнаты, стены, пол и потолок которой были из яшмы. Великий магистр был чуть больше прислуживающих ему карликов; маленькая лысая голова его утопала в зеленой, грубо

сотканной робе с капюшоном; желтоватое лицо с невыразительными мелкими чертами приветливо улыбалось Вилу

Вил тяжело опустился на колени и, изогнувшись над своей складчатой мошонкой, семь раз достал лбом прохладную яшму пола.

– Садись, детка, – тихим голосом проговорил великий магистр.

Вил сел на пол, положил на гениталии кейс.

– Все ли благополучно наверху? – спросил великий магистр.

– Слава Земле, все спокойно, великий отче, – тяжело дыша, ответил Вил.

– Ты пренебрег трапезой ради визита ко мне.

– Не дарами Земли едиными жив русский землеёб, но любовью к Матери Сырой Земле.

– Это верно, детка. Но, чтобы любить и ебать Матушку Землю Теплую, нужна энергия.

Прошу тебя сердцем любящего отца, раздели со мной скромную трапезу.

– С земным удовольствием, великий отче.

Великий магистр пяткой нажал на пол; яшмовая панель с нежным перезвоном колокольчиков опустилась вниз, в стене открылся проем, из которого стали выходить карлики и ставить на пол агатовые чаши с едой и напитками.

– Здоров ли ты, детка? – спросил великий магистр.

– Слава Земле, здоров, великий отче.

– Готов ли ты к Весенней Ебле?

– Готов, великий отче.

– Стоит ли хуило твое?

– Стоит, великий отче.

– Покажи, детка.

Вил снял с гениталий кейс и положил его на пол, затем приподнялся, обнял обеими руками свой член, поднял его с пола, перевалил на плечо и стал с силой мастурбировать. Мощные мускулистые руки Вила двигали толстую белую кожу члена, она то напоззала, то стягивалась с розовой головки, покоящейся на плече детки.

Карлики, между тем, вышли, проем закрылся.

Великий магистр, сцепив маленькие руки замком, смотрел на трудящегося Вила.

На складчатой коже члена обозначились вены, налились, головка покраснела; член стал расти, головка вылезла из кожи и потянулась к потолку Вил мастурбировал изо всех сил. Мошонка, лежащая на полу, собралась и подтянулась к основанию члена; два огромных яйца полиловели, кожа сжалась вокруг них и залоснилась. Багровая головка коснулась потолка.

– Верю, – произнес великий магистр. – Садись, детка. Вил сел, отчего член его качнулся назад и глухо стукнул в дверь. Створы моментально открылись, привратники навели на Вила автоматы.

– Обор, – тихо скомандовал великий магистр, и дверь закрыли.

Он зачерпнул из чаши горсть белых, похожих на рис муравьиных яиц и протянул Виду.

Вил выглянул из-за члена и поспешно протянул ладони. Великий магистр насыпал в них яиц:

– Расскажи мне, что принес.

Держа на ладонях муравьиные яйца и выглядывая из-за венозной плоти члена, детка заговорил:

– Великий отче, я принес тебе вещество, полученное блядами в тайном месте. Блядское государство уже дважды пыталось получить это вещество, но попытки провалились. Третья попытка удалась блядам. Это вещество устроено по-другому, чем все сущее на Земле. Оно не может ни нагреваться, ни охлаждаться и всегда такое же теплое, как наша кровь. Его можно резать – оно разрежется, можно рвать – оно разорвется. Но если его вложить в раскаленную печь оно не сгорит и не нагреется, если опустить в ледяную майну – не охладится. Оно вечно. И всегда будет таким же теплым, как кровь людей. Его можно раздробить и развеять по ветру, но частицы его все равно будут в мире, и даже если мир

наш замерзнет ледяной глыбой или превратится в пылающее солнце – голубое сало навсегда останется в нем.

Великий магистр задумчиво жевал муравьиные яйца. Член Вила стал постепенно опадать.

– Как блядям удалось получить это вещество?

– Случайно, великий отче. Они делали блядские опыты с восстановлением и выращиванием людей по памяти их костей. Там были люди разных профессий. Но только люди, которые когда-то записывали на бумаге свои фантазии оказались способны произвести голубое сало.

Магистр взял из чаши кусочек торфа, поджаренного в кедровом масле, положил в рот. Вил, пользуясь паузой, потянулся ртом к своим ладоням с муравьиными яйцами, но уменьшающийся член его стал падать с плеча, он подхватил его обеими руками, муравьиные яйца посыпались на пол.

– Ради Матери Земли, прости меня, великий отче, – пробормотал Вил, опуская член на прохладный пол.

– Покажи мне голубое сало, – сказал великий магистр. Вил открыл кейс.

– Да. Такого света нет в природе, – произнес после долгой паузы великий магистр. – Закрой.

Вил закрыл.

– Ты слышал о воронке времени? – спросил великий магистр.

– Как всякий посвященный, великий отче.

– Знаешь, сколько раз мы ей пользовались?

– Нет, великий отче.

– И не надо тебе знать. Готов ли ты пройти сквозь время для Высших Целей?

– Готов, великий отче.

– Ты пойдешь в середину прошлого века, отдашь голубое сало и вернешься назад, принеся нашим братьям то, чего они алчут уже сорок два года.

Магистр нажал пяткой на одну из неразличимых панелей пола. Панель опустилась. В комнате ожила невидимая звуковая система.

– Слушай внимательно, – сказал великий магистр. – Это поможет тебе.

Раздались позывные радио; вслед за ними послышалась мелодичная симфоническая музыка и женский голос вкрадчиво произнес:

– Писатели у микрофона.

Симфоническая музыка зазвучала громче, потом стихла, уступая мужскому голосу:

– Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас в гостях лауреат Сталинской премии, московский писатель Николай Буряк. Только что в издательстве «Гослитиздат» вышла его новая книга рассказов «Паводок». В нее вошли рассказы, написанные Николаем Буряком за последние три года во время многочисленных поездок писателя по стране Советов и по зарубежным странам и континентам. Широко известный прозаик, печатное слово которого так любимо нашим народом, объездил Дальний Восток и Прибалтику, Среднюю Азию и Цейлон, был в Нью-Йорке и Берлине, на мысе Доброй Надежды и на острове Комодо, встречался с рыбаками Камчатки и полярниками Севера, южно-африканскими миллиардерами и бесстрашными офицерами «Люфтваффе». Сейчас вы услышите рассказ из новой книги Николая Буряка «Паводок». Читает автор.

Спокойный, слегка хриловатый мужской голос стал читать:

## **Синяя Таблетка**

Когда в час сгущения зимних сумерек я чувствую нарастание беспричинной злобы и покалывание в кончиках пальцев, когда жена фальшивым голосом сообщает мне, что она снова должна ехать в Ленинград на консультацию к профессору Лебедеву «по женским

делам», когда секретарь Союза писателей приглашает меня к себе на дачу в Переделкино и, прохаживаясь между тоскливо скрипящих сосен, предлагает взяться за самую важную и нужную тему, которая «к сожалению, еще неглубоко вспахана нашей отечественной прозой», когда в школьных брюках сына я нахожу рваный презерватив, когда в ресторане ЦДЛ не оказывается маслин и куриных котлет де-воляй, когда ломаются сразу обе мои пишущие машинки, когда прижатая мною к стене домработница бормочет, что «сегодня неудобный день», когда ночью ко мне вваливается пьяный и плачущий собрат по перу, чтобы сначала сообщить «об окончательном разрыве с Соней», а под утро, что «он закрыл тему любовного треугольника», когда, наконец, мне фатально не хватает витамина В-12, я понимаю, что готов открыть мою железную коробку из-под зубного порошка «Свежесть».

Обычно, я открываю ее поздним вечером, заперевшись на ключ в своем кабинете. Эта коробка полна разноцветных таблеток: желтых и розовых, синих и зеленых, красных и оранжевых. Надо просто выбрать одну из них.

Я поднимаю голову вверх и, глядя на портрет Тургенева, наощупь вынимаю одну из таблеток. Это синяя таблетка. Еще ни разу я не пробовал ее.

Я ложусь на кожаный диван, накрываюсь пледом и кладу таблетку под язык. Нижнюю челюсть сразу сводит и во рту появляется металлическо-мятный привкус. Я глубоко вдыхаю. За ушами мягко давит, руки мои стремительно тяжелеют, в основании затылка раздается приятный сочный треск и я теряю свое старое тело.

Зима. Вечер. Москва. Заднее сиденье машины. Треугольное окно с изморозью на стекле. Крупными хлопьями падает снег – Черное такси с белыми шашечками, в котором я еду, подруливает к Большому театру. Я расплачиваюсь с невзрачным шофером и выхожу, хлопнув дверцей.

На мне легкий водолазный костюм ультрамаринового цвета. Маска сдвинута на голову. Под свинцовыми подошвами хрустит свежеснеженный снег.

Главный театр страны ярко освещен. Вокруг – народ в водолазных костюмах всевозможных форм и расцветок. Я поднимаюсь по ступеням, встаю слева между второй и третьей колоннами, смотрю на водонепроницаемые часы. 19.22. Маши нет. Вокруг снуют поскрипывающие люди: костюмы рифленые, в обтяжку, с напуском, «под кожу», «под рыбу чешую»; свинцовые туфли на шпильке, на платформе, «лодочкой», «козлик», «утиной ножкой», «корабликом», «ракушкой», «фламенко».

– Лишнего не предвидется? – спрашивает обвешанный хрусталем толстяк.

Я отрицательно качаю головой. На глаза мои ложатся белые резиновые ладони. Я накрываю их своими:

– Маша!

– Стоять! Не двигаться! – смеется она.

Я целую ее в уголок серебристо-розовых губ.

– Долго ждешь?

– Очень.

– Бедный! Замерз? Жаль, что не до смерти! На ней прелестный белый обтяжной костюм, белые свинцовые сапожки «казачок», белая маска в форме грызущихся пираний сдвинута наверх.

– Ты страшно красива, – признаюсь я.

– Нравлюсь?

– Не то слово.

– Тогда пошли! – блестит она черными как смоль глазами и тянет меня за руку.

Мы входим в вестибюль, я предъявляю билетерше две оловянные пластины, она прокусывает их щипцами. Мы направляемся в гардероб за аппаратами жидкого воздуха. Там столпотворение.

– Сюда! – тянет меня Маша, и мы влезаем без очереди. Маша – замечательная девушка. Но я еще не спал с ней. Мы получаем два аппарата, пристегиваем за спины и двигаемся к шлюзам.

– Ты не звонил мне на службу сегодня? – спрашивает

Маша.

– Нет. Я звоню тебе только домой, как условились.

– Представляешь, кто-то дважды звонил. Мягкий мужской голос, как мне доложили. А наша секретарша, эта кобыла, каждый раз отвечала, что... смотри, смотри: Марецкая! Мы смотрим на даму в боа поверх серебристого костюма

– Боже мой, как она постарела! – Маша прижимает резиновую ладонь к губам и поворачивается ко мне. – Неужели мы тоже состаримся?

– Никогда! – заверяю ее я, и мы входим в шлюз.

Он похож на огромный лифт. Стальная дверь задвигается за нами. В шлюзе стоят человек пятьдесят. Мы опускаем маски, закрываем рты мундштуками, включаем подачу воздуха. Загорается надпись: ВНИМАНИЕ! ЗАПОЛНЕНИЕ ШЛЮЗА!

Снизу бурно поступает мутная жидкость комнатной температуры. Маша делает мне знак рукой в сторону мужчины в костюме саламандры. Под причудливой маской я различаю черты неповторимого Филиппова. Шлюз заполняется до потолка, открывается дверь с другой стороны. И сразу – толчок встречной водяной массы, перепад давления, пузыри нашего воздуха.

Мы покидаем шлюз и оказываемся в зале, пронизанном светом сотен прожекторов.

Зал Большого театра представляет собой главный отстойник московской канализации.

Люди, поверхностно знакомые с фекальной культурой, полагают, что содержимое канализации – густая непроглядная масса экскрементов. Это совсем не так. Экскременты составляют лишь 20%. Остальное – жидкость. Она, хоть и мутная, но при сильном освещении вполне позволяет обозреть весь зал, от устланного коврами пола до потолка со знаменитой люстрой.

Пространство зала отливают синевой и пронизано мириадами поднимающихся пузырей.

Наверху турбулентные потоки разгоняют скапливающиеся экскременты, чтобы те равномерно распределялись в пространстве зала, позволяя видеть галерке

Я смотрю на тяжелые билеты: ряд 7, места 15, 16. Идеально.

Усаживаемся, подключаем воздухоотводы: во время представления пузыри не должны мешать. Звучит третий звонок. Публика постепенно успокаивается. Над нами – экскременты и редкие пузыри опаздывающих. Гаснет люстра. В оркестровой яме появляется дирижер, взмахивает стальной палочкой.

Звучит увертюра к опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин», Наши чувствительные мембраны улавливают звуки скрипок, виолончелей, валторн и гобоев. Духовые под водой звучат более экстравагантно, чем струнные. Оркестр играет с настроением, он прекрасно сыгран. «Свободное дыхание», – как говорил Стоковский.

Раздвигается освинцованный занавес, и начинается опера.

Пение в подобных условиях – удел подлинных виртуозов, истинных фанатиков оперного искусства. По сложности оно превосходит горловое трехтоновое камлание бурятов, по степени риска – прыжки с трамплина. Пропеть под двадцати метровой водяной толщей, не фальшивя и не захлебнувшись, «Я люблю вас, Ольга!», пользуясь поступающим в нос сжатым воздухом, способны, по словам Марии Каллас, «люди со стальными легкими, русской душой и советским сердцем».

Поют прекрасно. Наконец-то в Большом зазвучали свежие голоса, и нам не приходится краснеть перед иностранцами за главный театр страны. Слава Богу, что поют молодые...

Не так давно отгремел показательный процесс над бывшим руководством Большого, этими отвратительными упырями от Мельпомены, погрязшими в разврате, антисоветчине и коррупции, загубившими не один молодой талант. Семь негодяев и две мерзавки недолго дергались в намыленных петлях на Красной площади под бурные аплодисменты зрителей; их предсмертное пердение прозвучало похоронным маршем бездарности и трубным гласом смены вех: плеяда молодых талантов взошла над квадригой Главного театра.

Прелестная Татьяна, словно сошедшая с бессмертных пушкинских страниц, в пеньюаре поверх водолазного костюма сидит за столом с гусиным пером в руке. «Я к Вам пишу – чего же боле? Что я могу еще сказать?» – доносится сквозь мутноватую многотонную толщу и зал взрывается резиновыми аплодисментами.

Маша показывает мне большой палец. Здорово!

В антракте мы направляемся в буфет. Здесь разгоняющих струй нет и экскременты коричневато-серой массой колышутся под потолком. Когда подходит очередь, показываю продавщице на пальцах 3 и 2: «Шампанское, два раза». Мы получаем по двухсотграммовой бутылочке, приставляем сложные пробки к нашим мундштукам, и превосходное «Роттогу» струится по нашим пищеводам.

Обнявшись, мы прогуливаемся в холле. Под масками – возбужденные, радостные лица известных и неизвестных людей: дамы в мехах, джентльмены в смокингах, благообразные старики-театралы, пестрая молодежь. Меня узнают, раскланиваются. Маше приятно это: она игриво толкает меня в ультрамариновый бок.

Я покупаю программку Оказывается, сбор от сегодняшней премьеры идет на реставрацию Сухаревской башни.

Ко второму действию прибывает Сталин. Мы долго приветствуем вождя. Он укоряюще улыбается, жестом руки заставляет всех сесть.

Опера летит дальше, летит на одном дыхании, – исполнители, оркестр, декорации, свет – всё сопряжено в единой гармонии, пьянит и чарует необычайно. Мы хлопаем самозабвенно, как школьники, и тяжелое немецкое слово гезамткунстверк оживает в моей памяти.

Два действия проносятся под непрерывные овации, и вот уже ария Гремина. Гордость России, наш славный бас, кованым гвоздем прошедший сквозь многослойную кулебяку революционного, предвоенного, военного, послевоенного лихолетья и сверкающим острием вонзившийся в наши сдобные пятидесятые.

Любви все возрасты покорны,  
Её порывы благотворны...

Он поет, как ваяет. Я чувствую мощные вибрации водяной толщи. Громадные пузыри воздуха, исходящие из его чувственного рта, сверкая и расширяясь, устремляются вверх, разгоняя пугливо мечущиеся стаи экскрементов. Это поет стихия. «И дышат почва и судьба».

И юноше в расцвете лет,  
Едва увидевшему свет,  
И закаленному судьбой  
Бойцу с седою головой...

Зал снова не выдерживает. Овация. Да такая, что муть от измельченных, расплюснутых ладонями экскрементов заволакивает все. Сталин встает. И мы все встаем. Слезы наворачиваются на глаза. Все-таки Россия выстояла в беспощадном XX веке. Не погиб наш народ, не погибло наше искусство.

Маша подпрыгивает и, зависая во взбаламученном пространстве, показывает два больших пальца. Она прелестна.

Финал, несмотря на дополнительное освещение, различается с трудом. Овации не смолкают. Сцену заваливают освинцованными цветами. Воздухоотводы отсоединены; зал вскипает пузырями. Артисты аплодируют Сталину, он аплодирует им. Маша сжимает мое запястье. Я обнимаю ее, чувствуя сквозь резину упругую грудь нерожавшей женщины.

Толпа выносит нас из зала: шлюз, душ, санобработка, гардероб, и вот, – сбросив маски, мы целуемся, прислонившись к колонне Большого. Маша тянется ко мне, оступается. Свежий снег хрустит под ее сапожком.

– Спасибо тебе! – шепчет она. Губы ее всегда пахнут яблоками. Взявшись за руки, мы идем к метро. Маша вспрыгивает мне на спину:

– Давай еще выпьем шампанского! В ларьке я покупаю бутылку «Абрау-Дюрсо». Мы пьем, присев на спинку заснеженной скамейки.

– Жутко хочу на «Лебединое», – говорит Маша, закуривая. – Знаешь, это так... замечательно. Это сильнее кокаина. Хочу каждую неделю.

– Здэлаэм! – говорю я с акцентом вождя. Маша отпивает из бутылки и с полным ртом тянется ко мне. Я подставляю немолодые губы и через секунду «Абрау-Дюрсо» шипит у меня в горле. Я глотаю ...и не могу проглотить. В горле клокочет и окукливается что-то, твердеет, волосеет, леденеет, разрывая мою шею, Маша изгибается, прелестные ноги ее скручиваются спиралью, входят в асфальт. Большой театр раскрывается толстой книгой, буквы бегут и прыгают, я глотаю собственную голову и просыпаюсь.

Ночь.

Надо пойти помочиться кровью. Потом сделать себе кофе. И брезгливо вспоминать свою обычную жизнь.

Голос смолк. В комнате наступила тишина.

– Ты все понял, детка? – спросил великий магистр.

– Не все, великий отче.

– Это хорошо. Это очень поможет тебе. Знание частей в твоей миссии важнее знания целого. Ты понял в какой год и куда мы посылаем тебя?

– Москва, Большой театр, 1954.

– Хорошо, детка. Возьми, что принес, и иди за мной. Великий магистр встал, приблизился к двери. Ее тут же открыли, Великий магистр двинулся по коридору. Вил заковылял следом, толкая босыми ногами свои гениталии. Путь был недолгим – перед огромными архаическими железными воротами великий магистр остановился. У ворот стояли двое стражников с автоматами, не обратившие на подошедших ни малейшего внимания. Великий магистр вложил свои губы в большую замочную скважину ворот и внятно произнес:

Йи-ма-хе хшат-ре аур-ва-хе

Ноид ао-тем аон-ха ноид гаре-мем

Ноид заурва-тем аон-ха ноид мерет-йуш

Ноид а-рас-ко дае-во да-то

Прошло несколько минут. В воротах ожили древние запоры, заскрипел ржавый металл и створы стали медленно расходиться.

Великий магистр и Вил прошли в проем и оказались в полной темноте. Ворота за ними так же медленно закрылись. Великий магистр нащупал в темноте лежащий на каменном полу факел, зажег его. Пламя осветило громадную пещеру. Посередине возвышалась необычная конструкция, собранная из камней и деревянных подпорок. Рядом с ней грудились две кучи из почерневших камней и обугленных головешек. Конструкция подпирала массивный конус вытесанный из гранита и перевернутый вершиной вниз.

Послышался шорох. Вил пригляделся и в стенах возле ворот увидел небольшие окошки. В них виднелись лохматые человеческие лица, пугливо шарахающиеся от огня.

– Атрекс! – зарычал Вил.

– Не бойся, детка. Это хранители запоров, – пояснил великий магистр. – Они живут в камне и ждут, когда отпереть. Последний раз это было шестнадцать лет назад, Ступай за мной.

Они приблизились к конструкции.

– Полезай наверх в воронку. Когда залезешь – сядь и крикни, – скомандовал великий магистр.

Вил взял ручку кейса в зубы и стал карабкаться наверх по переплетениям деревянных подпорок. Гениталии его отвисли и тяжело раскачивались, задевая подпорки. Наконец он достиг верха, забрался в полый конус, сел, прижав к груди кейс, и громко крикнул.

Великий магистр поднес факел к толстому просмоленному жгуту в основании конструкции. Жгут вспыхнул и затрещал.

Великий магистр бросил факел на землю и побежал к воротам. Приблизившись к ним, он положил на их шершавую поверхность обе ладони и громко произнес:

– Авеста!

В стенах зашевелились хранители запоров, ворота приотворились. Великий магистр быстро вышел из пещеры, Ворота закрылись. Пламя быстро перемещалось по жгуту, разбрасывая зеленые искры. Когда оно исчезло в сердцевине конструкции, раздался сильный, но как бы замедленный взрыв, плавно перетекший в ослепительно-белую вспышку. Когда все кончилось, на полу пещеры дымилась третья куча из раздробленных камней и догорающих деревяшек. Прямо над ней на потолке проступало круглое темное пятно. Рядом с ним, над двумя старыми кучами виднелись такие же пятна.

Праздничный концерт, посвященный открытию Всероссийского Дома Свободной Любви, проходящий 1 марта 1954 года в Москве, в Большом театре СССР, был в полном разгаре. Недавно отреставрированный, еще слегка пахнувший лаком, белилами и деревом, театр оказался не в состоянии вместить всех желающих: большая толпа стояла вокруг и, осторожно шевелясь, похрустывая тонким мартовским ледком, прислушивалась к черным раструбам репродукторов, нарушающих недолговечную тишину московской ночи громкими, рассыпчато-переливистыми звуками концерта.

Внутри было жарко, даже душно, от новых батарей парового отопления, выкрашенных рубиновым, под цвет стен, цветом и от шести тысяч человеческих тел, разгоряченных праздником и замороженных происходящим на сцене. Только что завершилась, под взрывы аплодисментов и одобрительные возгласы, долгая, но лихая пляска уральских казаков; багрового бархата занавес опустился и на просцениуме показался Александр Первач – неизменный ведущий всех праздничных концертов, розовощекий и быстроглазый балагур, любимец публики, сумевший шестнадцать лет пробалансировать на коварной проволоке своей профессии и не сорваться, подобно многим конферансье, в болото пошлости и рутины. Дав угаснуть аплодисментам, он быстро шагнул вперед и, изогнувшись своим полным, но очень подвижным телом, заговорил громко, раскатисто и игриво, с непостижимой быстротой и подлинной виртуозностью:

– Итак, дорогие товарищи, дамы, господа, друзья, приятели, добрые и не очень добрые знакомые, коммунисты и беспартийные, миллионеры и совслужащие, военные и гражданские, семейные и холостые, верующие и атеисты, гетеро– и гомосексуалы, поклонники свободной любви и приверженцы старых добрых традиций, москвичи и гости столицы, я спрашиваю вас: что может объединить нас всех в этом прекрасном зале, нас – таких разных и неповторимых, таких радостных и полнокровных?

– Свободная любовь! Партия! Дружба! Праздник! – послышались голоса.

– Праздник! – дернул овальной, густо набриолиненной головой Первач. – Великолепно!

Конечно же праздник! А что делаем мы, советские люди, на празднике?

– Выпиваем! – выкрикнул кто-то, и зал грохнул смехом.

– А еще что? – подмигнул Первач, сцепив маленькие холеные руки и прижав их к груди.

– Поем! Поем песни! –. раздалися голоса.

– Поем песни! – воскликнул Первач. – Мы поем песни, друзья мои, потому что только песня способна по-настоящему объединить нас всех!

Он выдержал паузу, вытянул руки вдоль тела и слегка подался грудью вперед:

– Выступает народный артист СССР, лауреат Сталинской премии, герой Социалистического Труда Александр Зал замер.

– Пятой!!!

Зал взорвался овацией, зрители встали со своих мест. Занавес взмыл, и со сцены на зрителей хлынул поток нежно-розового, золотисто-медового света. Всё сразу смолкло публика села, и через полминуты абсолютная тишина наполнила театр.

На убранной живыми цветами сцене стояла ванна, выточенная уральскими камнерезами из цельной глыбы розового гранита. В этой массивной, наполненной полупрозрачной желеобразной субстанцией ванне лежал великий баян России – Александр Пантелеймонович Пятой – живая легенда, певец-самородок, поколебавший славу великого Шаляпина. Родившийся в глухой беломорской деревушке, с детства пораженный редчайшим недугом – размягчением костной ткани, Пятой получил от сурового северного края бесценный дар Баяна, уже четверть века приводящий в трепет россиян.

Он лежал в ванне на спине, прикрыв глаза и размеренно дыша невероятно худой, но широкой грудью.

Прошли несколько долгих минут. Слышно было как слабо потрескивают новые кресла под телами замерших людей.

Медленно приподнимая голову и плечи, Пятой сел в ванне. Большое широкое лицо его, цвета запеченной в углях картошки, было покрыто глубочайшими морщинами, словно прорезанными узким и острым ножом; бледная, истонченная кожа беспощадно обтягивала широкие плечи потомственного помора; большие серо-голубые глаза спокойно смотрели в зал. Он слегка приоткрыл сухой тонкогубый рот и запел. Сильный, мягкий и проникновенный голос потек как бы ниоткуда, как свет. Но не успел Пятой пропеть первую фразу, как в зале раздался странный звук, словно оборвалась киноплёнка на кадре, запечатлевшем взрыв тяжелой бомбы. Что-то быстро мелькнуло в проходе между сценой и партером, треснул паркет, хрустнули обтянутые бархатом доски сцены и облако каменной пыли осело на первых рядах.

Зал недоумевающе ахнул. Люди встали со своих мест.

Между сценой и первыми рядами партера, раздвинув паркет и задев край сцены, торчала полупрозрачная воронка, ростом с человека. В воронке виднелось что-то розоватое.

Пятой прекратил петь.

В зале вспыхнул свет. Вокруг странной воронки стал собираться народ. Шум усиливался.

– Товарищи! Прошу не поддаваться панике! – раздался зычный голос из правительственной ложи.

Шум стал стихать, все повернулись к ложе. В ней, опершись на бархатное перило парапета, стоял Вячеслав Молотов – высокий, широкоплечий, с густой, черной как смоль бородой, большим умным лбом и красивым решительным лицом, Рядом с ним сидела его жена – княгиня Воронцова, хрупкая женщина с болезненно тонкими чертами лица; здесь же находились другие члены правительства и члены их семей.

– Что это, Вячеслав Михайлович? – выкрикнул из партера золотопромышленник Рябушинский. – Провокация эсеров?

– Подарок дамам к международному женскому дню! – нервно пошутил главный редактор «Правды» Кольцов.

– Товарищи! Это лед! – громко констатировала девушка с красной косынкой на голове.

– Господа, а вдруг это бомба? – воскликнул граф Сумароков-Эльстон.

– Прошу минуту тишины! – поднял руку Молотов, и голоса стихли. – А теперь попрошу всех занять свои места!

Набежавшая публика стала покидать партер. Когда в зале наступила тишина, Молотов заговорил своим громким голосом:

– Я прошу всех успокоиться. То, что случилось сейчас – не провокация эсеров, не террористический акт и не шутка. Это уникальное явление, чрезвычайно важное для нашего Советского государства. У вашего правительства нет секретов от своего народа. Завтра вы все узнаете из газет, а теперь необходимо как можно скорее убрать этот предмет из зала и поместить его в морозильник. Вы уже заметили, что это лед. Так вот, этот лед ни в коем случае не должен растаять. Я прошу сильных мужчин, сидящих в партере, помочь вынести *это* из зала.

Возникла пауза. В зале появились солдаты охраны. В первых рядах поднялись несколько человек, осторожно приблизились к воронке.

– Товарищи! Ничего не бойтесь! – успокоил их Молотов. – Это просто лед. Но очень важный лед.

Солдаты и мужчины-добровольцы облепили ледяную воронку, медленно вытянули из развороченного пола, при подняли и понесли к выходу

– Товарищ Молотов! И все-таки, что же это такое? –раздался женский голос из соседней ложи.

– Вы не хотите потерпеть до завтра? – улыбнулся Мо лотов.

– Нет! Не хотим! Говорите сейчас! – слышались голоса с мест.

Молотов обвел зал взглядом своих черных глаз:

– В таком случае, я предоставляю слово специалисту Лаврентий Павлович, объясните товарищам, что произошло.

Сидящий слева от него Берия, встал, снял пенсне и неторопливо протер его замшевой тряпочкой. Это был высокий худощавый человек с большой яйцеобразной почти безволосой головой, узко скошенными плечами и длинными руками с выразительными тонкими пальцами; лицо его, узкое и вытянутое книзу, всегда имело выражение рассеянной углубленности в себя, которое встречается обычно у людей искусства. Небольшие зеленые глаза подслеповато щурились, полные губы блестели со вкусом подобранной помадой. На Берии был превосходный темно-синий фрак с орденом Красного Знамени в алмазном венце. Очень высокий стоячий воротник красиво поддерживал узкие худые скулы министра госбезопасности.

Берия надел пенсне на свой тонкий небольшой нос и заговорил тихим четким голосом:

– Это так называемый ледяной конус, посланный нам из далекого будущего Орденом Российских Землеёбов. Орден будет сформирован из многочисленных сект землеёбов в 2012 году. В 2028 члены Ордена обоснуются в Восточной Сибири, на Лысой горе, в подземельях которой обнаружатся следы поселения сибирских зороастрийцев – потомков небольшой секты, которая ... кажется, в конце VI-го века до нашей эры бежала из великой империи Ахеменидов на север. И постепенно оказалась в тайге, между двумя Тунгусками, на Лысой горе, в гранит которой они благополучно углублялись в течении четырех веков. Зачем? В поисках так называемого Подземного Солнца, лучи которого, по их верованию, уничтожат различие между добром и злом и вернут род человеческий в райское состояние. Сибирские зороастрийцы изобрели машину времени, способную посылать небольшие объекты в прошлое. Один из этих объектов вы видите здесь.

Берия замолчал, шевеля губами и оглядывая зал.

– Товарищ Берия! – встал с места Алексей Стаханов. – Ты скажи прямо – это хорошо, или плохо?

– Конечно, хорошо, – сдержанно улыбнулся Берия. – Это уникальное явление.

– И часто они, эти... зем-ле-ёбы будут швырять по нам такими глыбами? – спросила Ольга Чехова, обмахиваясь черным китайским веером.

– Могут же быть жертвы, господа! – с трудом приподнялся десятипудовый Мика Морозов. – А если б эта штука вылезла не в проходе, а прямо здесь, среди нас?! Или на галерке? И натурально свалилась бы на наши головы?! Это же... катастрофично!

– Мика Саввович, от вас ли слышать такие речи? Вы же писали, что привыкли смотреть опасности в лицо? – спросил генерал-полковник МГБ Фриновский, и весь зал засмеялся.

Смех снял со всех напряжение. Глыбу благополучно протиснули в дверь и вынесли.

– Лаврентий Павлович, а что там внутри, в этой *la pyramide glaciée de Cheops*? Какое-то мирное послание нам? Или – объявление войны? – спросила княгиня Урусова.

– Ультиматум? – привстал, глядя на Берию, ее супруг в морской форме.

– Что же это нашим голубокровым всё войны мерещутся?! – хлопнул по своему пухлому колену народный артист СССР Андреев. – Никак уж дважды отвоевались, слава тебе, Господи! Да попридержите же рысаков, господа гусары!

Все снова засмеялись.

– На счет ультиматума – не уверен, – продолжал Берия. – Впрочем, посмотрим. Читайте газеты, товарищи.

– Тогда подскажите, где нам ждать следующего ледяного привета из будущего? – усмехнулся писатель Павленко.

– Следующего, по всей вероятности, не будет, – ответил Берия. – Зороастрийцы оставили в своих пещерах всего три установки. Первый ледяной конус был обнаружен летом 1908 года неподалеку от Торжка. В нем была книга из оленьей кожи с описанием истории и устава Ордена. Бездарное правительство Николая 11-го посчитало это розыгрышем. Сохранились только части книги. Вторым конусом был разрушен поезд Москва-Владивосток 29 июля 1937 года. На лед тогда никто не обратил внимание. Зато мерзавец Ежов не преминул воспользоваться этим крушением, в результате чего возникло фальшивое «дело железнодорожников», унесшее в три раза больше жизней, чем само крушение. И вот сегодня, здесь – последняя попытка.

– А что было во втором конусе? – спросила Ольга Чехова.

– Там было тело существа, получеловека – полуживотного. Мальчик шести лет с рогами, копытами, хвостом. А на лбу татуировка: «Дитя блядского мира». Труп сильно пострадал во время крушения, но к счастью был сохранен одним умным и честным сотрудником НКВД. Рискуя жизнью, он заспиртовал и спрятал тело.

– Господин Берия! – встал чемпион мира по шахматам Алехин. – Какое же объяснение этому феномену дали наши ученые?

Молотов решительно встал, тряхнул курчавой головой:

– Дорогие товарищи, имейте терпение! Лаврентий Павлович и так сказал вам достаточно.

– А где товарищ Сталин? – закричал с галерки молодой голос.

– Да! Где Сталин? – встал, словно опомнившись, Павленко.

– Где Сталин? Сталин! Почему он не с нами? – раздались голоса.

В правительственной ложе показалась внушительная фигура Микояна, поднимающегося со своего места. Широкоплечий, полный, чуть выше среднего роста, он выбрался из кресел и встал, опершись на парапет. Микоян улыбнулся и обвел зал взглядом небольших, но невероятно живых и молодых глаз; совершенно лысая голова его и гладкое желтоватое лицо бодро лоснились, серый френч с двумя орденами Красного Знамени плотно обтягивал крепко сбитую фигуру.

– Вы хотите знать почему товарищ Сталин не наслаждается вместе с нами этим отличным концертом? – быстро заговорил он с легким кавказским акцентом. – Отвечаю: товарищ Сталин после церемонии открытия Дома Свободной Любви слегка устал и захотел отдохнуть. Мы, большевики, хоть и сделаны из особого материала, но у нас тоже иногда болят головы.

В зале засмеялись и зааплодировали. Микоян успокаивающе поднял руку:

– А вот аплодировать, друзья мои, надо не мне, а нашему великому певцу, которому мы все, – он глянул на карманные часы, – уже почти десять минут мешаем работать, Зрители как по команде повернулись и посмотрели на сцену. Все это время Александр Пятой сидел в ванне, следя за происходящим. Заметив, что все смотрят на него, он высунул из желе свою беспомощную, похожую на вынутого из моря осьминога руку и покачал ею.

– Погасите свет! – скомандовал Молотов. Зал погрузился в темноту. Подождав недолго, Пятой полуприкрыл глаза и запел:

Ах, как и зимним утром да январским  
Постучались мне в дверь стальную,  
Я ни жив ни мертв лежу безответный,  
А жена моя, Маруся, отвечает,  
Отвечает-вопрошает сквозь стальную дверь:  
А и кто стучится, кто там ломится?  
Говорят три юных гласа да за дверью:  
Открывайте, отворяйте, люди добры,  
Мы не сделаем вам подлого-худого.  
Отворила тяжку дверь моя Маруся,  
Три сестрицы милосердья на пороге,  
Все в халатах белых да с крестами,  
Все в резиновых перчатках да в сапожках.  
А одна из них высока-черноглаза,  
А другая толстовата-рыжий волос,  
Ну а третья вся задумчива-прозрачна.  
Вот заходят три сестрицы милосердья,  
Саркофаг мой страсготерпный обступают,  
Примеряются, берутся за прихваты  
Да на двор меня, болезного, выносят.  
На дворе стоит-трещит мороз крещенский  
Да шофер рябой машину прогревает.  
Отворили двери враз машины белой,  
Саркофаг мой внутрь машины задвигают,  
Да садятся рядом три сестрицы.  
Черноглаза да высока – в изголовье,  
Толстовата– рыжий волос – по середке,  
Ну, а третья, что задумчива-прозрачна  
Возле ног моих болезных примостилась.  
Вот поехала машина по пришкепту,  
Все прямехонько да прямо из столицы вон,  
По Смоленской по широкой по дороге.  
Как проехала машина верст за десять,  
Так на право-то с дороги своротила,  
Своротила-повернула в лес мохнатый  
Да по просеке поехала по узкой.  
Как проехали еще версты четыре,  
Заглушил шофер горячую машину  
Три сестрицы ухватились за прихваты,  
Из машины саркофаг со мной выносят  
Да несут вперед по просеке по снежной  
В недремучий лес наш подмосковный.  
На поляну непросторную выходят,  
Саркофаг мой в снег глубокий опускают,  
Достают замысловатый чемоданчик,  
Вынимают из него три узких шприца.

Зрители начали слегка подтягивать Пятому. Он сделал паузу, вдохнул полной грудью и запел громче и протяжней:

Один из злата красного, из горна хрусталя  
С иглой новой, иглой острой,  
Иглой золотою.

Другой из серебра белого, из дорога стекла  
С иглой новой, иглой острой,  
Иглой серебряной.

А третий из черна-железа, дешевого стекла  
С иглой старой, иглой ржавой  
Иглой затупленной.

Волнение охватило зал. Зрители стали громко подпевать, раскачиваясь. Пятой продолжал.  
Голос его, набирающий силу все больше и больше, рассекал поющие массы, как ледокол:

Как брала сестрица черноглаза  
Узкий шприц-потяг злата красного,  
В подколенную жилу мне втыкала,  
Полный шприц моей крови набирала,  
Шла-брела по лесу вокруг поляны,  
По колено в снег глубокий провалилась,  
Ко деревьям крепко спящим приникала,  
Да колола шприцем в кору мерзлу,  
Да впускала теплу кровь мою в деревья.

В каждый ствол еловый,  
В каждый ствол сосновый,  
В каждый ствол осиновый  
Да в каждый ствол дубовый.  
Кровь мою больную,  
Кровь мою гнилую,  
Кровь мою багровую,  
Да кровь мою густую.

Как брала сестрица толстовата  
Узкий шприц-потяг из серебра белого,  
В становой хребет да мне его втыкала,  
Костяной мозг полным шприцем набирала,  
Шла-брела по лесу вокруг поляны,  
По лядвии в снег глубокий провалилась,  
Ко деревьям крепко спящим приникала,  
Да колола шприцем в кору мерзлу,  
Да впускала костный мозг мой в те деревья.

В каждый ствол еловый,  
В каждый ствол сосновый,  
В каждый ствол осиновый  
Да в каждый ствол дубовый.

Мозг мой внутрикостный,  
Мозг мой почернелый,

Мозг мой позагнивший  
Да мозг мой перепрелый.

А как брала сестра задумчива-прозрачна  
Узкий шприц-потяг железа черна,  
Во простату мне иглу втыкала,  
Полный шприц простатным гноем набирала,  
Шла-брела по лесу вкруг поляны,  
По грудя во снег глубокий провалилась,  
Ко деревьям крепко спящим приникала,  
Запускала гной мой да в деревья.

В каждый ствол еловый,  
В каждый ствол сосновый,  
В каждый ствол осиновый  
Да в каждый ствол дубовый.

Гной мой испростатный,  
Гной мой перепрелый,  
Гной мой забродивший  
Да гной мой застарелый.

Зал пел, раскачиваясь. Но шесть тысяч голосов были не в силе заглушить голос народного Баяна:

И склонились надо мною три сестрицы,  
И промолвили, мне в очи прямо глядя:  
Как придет весна-красна, согреет землю,  
Оживут-проснутся мертвые деревья,  
Забуровят в них живительные соки,  
Пораскроются их стиснутые почки,  
Зашумят их молодые листья.  
Ну, а те деревья, в чьи стволища  
Мы вонзили-запустили наши иглы,  
Превратятся сразу в отроков прекрасных,  
На тебя обличем похожих,  
А характером – на содержанье шприцев.  
Те, что от крови – те будут полнокровны,  
На работу да на удаль тороваты,  
Те, что от мозгу – те будут мозговиты,  
Воровать, начальствовать сумеют,  
Те, что от гною простатного родятся –  
Похотливы станут аки вепри,  
Заебут, перебрюхатят пол-России...  
Тут я с силушкой да с мыслию собрался,  
Приподнялся на локтях на полусгнивших  
Да спросил сестриц спокойно-молчащих:  
Как же звать вас, милосердные сестрицы?  
Черноглазая ответила: Я Вера.  
Толстовата-рыжий волос: Я Надежда.  
Ну а та, что так задумчива-прозрачна  
Отвечала кротко мне: Зовусь Любовью.

Пятой смолк и в изнеможении повалился навзничь в ванну.

Зал неистовствовал; все встали, овация сотрясала театр. На сцену полетели цветы.

– Пятой! Пятой! Пятой! – скандировала галерка Члены правительства тоже встали.

– Вот как надо петь, Клим! – толкнул локтем седобородый Маленков невысокого задумчиво хлопающего Ворошилова.

– Наши песни сложнее, – улыбнулся Ворошилов; умное, тяжелой лепки лицо его с решительным подбородком, упрямыми губами и тончайшей полоской усов под горбатым носом казалось совершенно непроницаемым и равнодушным к народному ликованию; но в прищуренных глазах светилась неподдельная радость.

– Необходимо немедленно ехать к Сталину, – сказал Берия Молотову

– Да, да. Конечно... – Молотов оглянулся. – Анастас, Клим, поехали к Сталину Каганович, Маленков и Булганин с готовностью посмотрели на Молотова.

– Товарищи, вас я прошу остаться. Концерт продолжается, не хорошо, если мы уедем все сразу.

– Дорогой, это до утра? – спросила жена Молотова.

– Вероятно, милая, – он быстро поцеловал ей руку и тепло улыбнулся сидящей рядом супруге Берии – полноватой даме с невыразительным, но всегда приветливым лицом. Четверо попрощались с оставшимися, оделись и вышли из ложи. Охрана, состоящая из младших офицеров госбезопасности, быстро двинулась следом, рассыпалась по пустому коридору

– Слава Богу, что без жертв, – на ходу перекрестился Молотов.

– У меня с утра было предчувствие, что что-то случится, – застегивал красивый белый плащ Берия. – Счастье, что в Большом театре широкие проходы.

– Екатерина Великая не сэкономила на кубатуре! – усмехнулся Молотов.

– Это камень в мой огород, Слава? А где теперь эта чертова глыба? – спросил Микоян, натягивая серые замшевые перчатки.

– В Кремле, – ответил Берия.

– Постой, разве Иосиф нынче не на «ближней»? – сощурился Ворошилов.

– Он в Кремле, Клим, – ответил Молотов.

Они вышли через служебный вход, сели в четыре черных бронированных «зима». Следом и впереди тронулись «эмки» охраны. Машины осторожно миновали скопившуюся возле театра толпу, проехали по улице Карла Маркса до Манежной площади, повернули налево и въехали на Красную площадь.

Черное мартовское небо с едва различимой россыпью звезд тяжело нависало над подсвеченным прожекторами Кремлем. Красный флаг трепетал над зданием правительства, рубиновые пентакли грозно светились на башнях. Громадный портрет Сталина висел на музее Истории СССР, а фронтон ГУМа украшала огромная красно-белая надпись: ПАРТИЯ – БЕССМЕРТИЕ НАШЕГО ДЕЛА.

Эскорт миновал Спасские ворота, въехал во двор здания правительства и остановился. Посередине двора, недалеко от памятника Ленину на открытом кузове грузовика лежал ледяной конус, накрытый брезентом. Рядом стояли шесть солдат с автоматами и два офицера МГБ.

– А, это здесь уже... – пробормотал Ворошилов, проворно выбираясь из машины и подходя к грузовику – Лаврентий, а ты не боишься? Вдруг там яд, например? Может у этих землебоов одна цель – отравить советское правительство и радикально изменить ход всемирной истории.

– Зачем? – спросил Берия, подходя к нему и доставая портсигар. – Двойная спираль времени не существует. Тройная – да.

– А если они этого не знают? – поежился Ворошилов.

– Судя по кожаной книге – знают.

– Ну, смотри. Тебе видней.

- Безусловно, – усмехнулся Берия, закуривая папиросу
- Не растает она ? – спросил Микоян.
- Господь с тобой. Теперь заморозки... вон ледок хрустит... – Молотов с хрустом наступил на лужу.

Ворошилов сощурился на светящиеся окна сталинской квартиры:

- Вроде не ложился еще.
- Пойдемте, товарищи, – Берия повернулся и направился к жилому корпусу Молотов, Ворошилов и Микоян последовали за ним. Они вошли в здание, поднялись по лестнице на второй этаж. Возле дверей сталинской квартиры стояли двое старших лейтенантов МГБ. В стенной нише за тумбочкой с телефоном сидел полковник. Офицеры отдали честь членам правительства, Берия кивнул полковнику. Тот поднял трубку телефона:

– Товарищ генерал-майор, здесь товарищи Берия, Молотов, Микоян и Ворошилов,  
– Дай-ка мне товарища Берия, – раздался в трубке голос начальника охраны Сталина Власика.

- Вас, товарищ Берия. – протянул полковник трубку
- Слушаю, – Берия взял трубку, выпуская папиросный дым через узкие ноздри.
- Власик, товарищ Берия. – зарокотала трубка, – Тут у нас ЧП небольшое. С детьми.
- Что такое?
- Опять с платьями. И товарищ Сталин там... разбирается.
- Доложи, что очень срочно.
- Я-то доложу, товарищ Берия, да эфиоп вас не пропустит.
- Это наша забота, – Берия положил трубку на рычажки.
- Чего там, Лаврентий? – спросил Микоян. – С Надей?
- С детьми, – Берия сунул окурок в подставленную полковником пепельницу.

Дверь отперли изнутри и открыли. Четверо членов правительства вошли в небольшую прихожую. Стены и потолок были выкрашены в сдержанно-синий цвет. Здесь стояли: Власик, простой советский стул, столик-тумбочка с телефоном и бочка с солеными огурцами. Власик козырнул вошедшим и открыл перед ними резную, молочного стекла дверь, ведущую во вторую прихожую. В ней интерьер был совсем другим: белый потолок, черные панели эбенового дерева, позолоченные кроше для одежды, в виде змей, фарфоровые китайские светильники, стоящие по углам. Две гувернантки-узбечки в узбекских шелковых платьях, шароварах и тюбетейках быстро сняли верхнюю одежду с вошедших и пригласили их в гостиную. Стены ее были обтянуты шелком цвета слоновой кости; не слишком высокий потолок с карнизами из розового мрамора выгибался и сходил к чудесной серебряной люстре в виде ветви цветущего апельсинового дерева; диваны белой кожи с позолотой окружали низкий стеклянный стол, толстая, идеально прозрачная столешня которого поддерживалась основанием в форме массивной волны; на столе стояли золотое скифское блюдо с виноградом, хрустальная пепельница, хрустальный подсвечник с зажженной розовой свечой и лежал завтрашний номер газеты «Правда»; во всю гостиную был постелен черно-серо-розовый египетский ковер; на стенах висели три картины Филонова, поодаль стояла деревянная скульптура Коненкова «Смеющийся Ленин». В углу дивана спала, свернувшись на бархатной розовой подушке, левретка Антанта.

Перед дверью, ведущей в личную гостиную Сталина, спал на ковре негр Сисул – личный слуга вождя. Из-за двери слышались резкие голоса.

Вошедшие направились к этой двери.

- Нельзя идти, – сказал Сисул с сильным акцентом, не открывая глаз.
- Срочное дело, – с ненавистью посмотрел на него Берия.
- Вождь не принимать сегодня.
- Что значит – не принимать?! Мы уже здесь! – повысил голос Берия, но Молотов взял его под руку, отодвинул в сторону и присел на четвереньки возле лежащего слуги:

– Сисул, это действительно очень важно,  
– Товарищ Сталин решает семейный дело. Нельзя идти. Молотов устало провел ладонью по своему широкому лицу:  
– Ты не понял, Сисул. Это действительно очень важно. Очень.  
Негр молчал.  
– О, God damn you... – теряя терпение, Берия заходил по гостиной, уперев длинные руки в узкие бедра..  
– Слушай, дорогой, что это в самом деле? – заговорил Микоян. – Ты государственный человек, или нет?  
– Тебе сказали – очень важно! – пнул лежащего Ворошилов.  
– Не надо Клим, – Молотов придержал ногу Ворошилова, приблизил свое лицо к иссинечерному лицу Сисула и продолжил: – От этого дела зависит здоровье всей нашей страны. И мое, и твое. И товарища Сталина. Если мы промедлим – нам всем будет плохо. Очень плохо.  
Сисул открыл большие красивые глаза, быстро встал, словно и не спал вовсе. Он был высок и статен, в абиссинском национальном костюме, щитом золотыми и серебряными нитями; из-за зеленого пояса торчали рукоятки двух кинжалов. Обведя визитеров своими темными выразительными глазами, Сисул вынул из рукава ключ, отпер дверь и вошел в нее, плотно притворив за собой. Послышалась его приглушенная речь.  
– А, вот и хорошо! – слышался чистый и громкий голос Сталина. – Очень хорошо, что они здесь! Вот пусть и посмотрят на вас! Проси!  
Сисул вышел, открыл дверь, с поклоном и ритуальной фразой, произнесенной на безупречном русском:  
– Товарищ Сталин сердечно просит вас пожаловать к нему.  
Молотов, Микоян, Берия и Ворошилов вошли в личную гостиную вождя. Сисул закрыл и запер за ними дверь.  
Личная гостиная была раза в три меньше главной. В интерьере преобладало розовое и эбеновое дерево; мягкая мебель алого шелка стояла на китайском ковре теплых тонов, по углам виднелись большие китайские вазы; на сероватых стенах висели две картины: «Ленин и Сталин на псовой охоте», кисти Кустодиева и портрет Сталина в швейцарских Альпах, написанный Бродским. Огромный матовый плафон на потолке освещал гостиную ровным неярым светом.  
Сталин встал с кресла и, не глядя на вошедших, подошел к окну. Вождь был высокого роста, хорошо сложенным, с открытым, умным, словно выточенным из слоновой кости лицом; черные, коротко подстриженные волосы его были с проседью, высокий лоб плавно переходил в залысины, красивые черные брови плавно изгибались над живыми, пронзительными карими глазами; небольшая горбинка не портила носа, волевые большие губы выступали над небольшим, но упрямым раздвоенным подбородком; гладкие щеки были слегка впалы. На вид Сталину было лет пятьдесят. Он был одет в белую шелковую косоворотку, подпоясанную серебряным поясом, и узкие брюки белого бархата, заправленные в белые лаковые полусапожки с серебряным шитьем.  
Посередине гостиной стояли сыновья Сталина – Яков и Василий, узнать которых было трудно из-за женских платьев и париков, надетых на них. Худую, стройную фигуру Якова обтягивало длинное вечернее платье черного бархата с бриллиантовым скорпионом и белыми пятнами на худой груди; кудрявый каштановый парик утопал в накинутах на голые плечи синим боа; на тонких женственных руках были черные сетчатые перчатки до предплечий, одна из которых была разорвана; пальцы и запястья украшали три кольца белого золота с сапфирами и изумрудами и два платиновых браслета с мельчайшими бриллиантами; худое, чрезвычайно похожее на отца, лицо его было сильно напудрено, что не скрывало припухлость правой подбитой скулы; подведенные синей тушью глаза смотрели в пол; под мышкой он держал узкую дамскую сумку из змеиной кожи.  
Невысокий, полноватый Василий был одет в бежевое крепдешиновое платье со стойкой и

высокими плечами, ниспадающее мелкими складками и расшитое на груди персикового тона розами; на тонкой золотой цепочке висела большая жемчужина; полные руки обтягивали бежевые лайковые перчатки, выпачканные уличной грязью; светлые волосы парика с нарушенной укладкой были, тем не менее, перехвачены перламутровым гребнем; полноватую шею Василия стягивала черная шелковая лента; нарумяненное пухлое лицо со ссадиной на подбородке, во многом повторяющее материнские черты, тоже смотрело в пол; на плече младшего сына вождя висела на массивной золотой цепи лакированная сумка.

– Друзья мои, могучие правители могучей страны, – заговорил Сталин грудным чувственным голосом, – посмотрите на детей великого Сталина. Внимательно посмотрите. Члены правительства посмотрели на двух травести.

– Чем я провинился перед Богом и Россией? За что мне послано такое наказание? – Сталин оперся о мраморный подоконник и приподнялся на носках. – Почему я и именно я должен быть унижен детьми своими?

– Отец, я прошу тебя... – поднял голову Яков. – Молчи, молчи... – Сталин закрыл глаза и прижал свой большой лоб к пуленепробиваемому оконному стеклу – Ты не достоин ударов палкой, не то что слов. Тебе тридцать два года. И ты до сих пор – ничто. Мерзкое, грязное, мизерабельное ничто, способное только гнить заживо и разлагать брата и сестру

– Отец, я очень прошу тебя, не продолжать этого разговора при посторонних, – проговорил Яков.

– Посторонних? – Сталин резко повернулся, быстрой размашистой походкой подошел к Якову и заговорил, вплотную приблизив свое выразительное лицо к некрасивому белому лицу сына: – Здесь нет посторонних, кроме тебя! Здесь только мои друзья, товарищи по партии, по великому делу, да еще мой младший глупый сын, подпавший под твоё гнусное влияние! Они мне не посторонние! Это ты – посторонний! Навсегда мне посторонний!

– Папа, ей-богу, ну прости нас, – конфузясь, забормотал Василий – Я тебе обещаю, я клянусь, что больше...

– Не клянись, не клянись, черт тебя побери! – сморщился Сталин, словно от зубной боли. – Ты не знаешь, что такое настоящая клятва! Они, – указал тонким пальцем на членов правительства, – знают, что это такое! Вы – нет! Они знают, что такое честь и совесть! Вера и преданность! Что такое – высшее! То высшее, что позволяет нам оставаться людьми! Высшее! Настоящее, подлинное высшее! А не это, не эта... мразь, мразь, мразь! – обеими руками он вцепился в подолы платьев своих сыновей и поднял их вверх, разрывая. У Якова обнажились стройные тонкие ноги в черных ажурных чулках, у Василия – полные, кривоватые, в капроне под цвет тела.

Сталин с силой толкнул их, сыновья стали падать; Яков зацепился высоким каблуком за кресло и упал, сбив головой узкий бронзовый торшер; Василий, пятясь, рухнул спиной на китайскую вазу и раздавил ее, как яйцо.

Сталин сел на диван, открыл стоящую на журнальном столе сандаловую коробку, достал не очень толстую сигару, срезал кончик, прикурил от свечи хрустального канделябра, выпустил голубоватый дым широкой струёй и привычным, до боли знакомым всем движением потер себе переносицу:

– Что мне делать с ними?

Стоящие хранили молчание. Только стонал, держась за затылок, Яков, да всхлипывал, ворочаясь в фарфоровых осколках, Василий.

– Вот, полюбуйте, – Сталин взял с журнального стола лист бумаги с грифом МГБ. – Начальник отдела наружного наблюдения МГБ СССР, генерал-лейтенант Рюмин докладывает: по оперативным данным 1 марта 1954 года в 18.32 Сталин Василий Иосифович (в дальнейшем В) прибыл на квартиру Сталина Якова Иосифовича (в дальнейшем Я). Из квартиры Я и В вышли в 20.45 через черный ход в женской одежде. Выйдя с улицы Грановского на Манежную площадь, они стали громко обсуждать в какой ресторан идти. В предлагал «Берлин», «потому что там много немецких офицеров», Я

возражал ему и говорил, что «у немцев после потсдамской конференции стоит еще хуже, чем у коминтерновцев после высылки иудушки Троцкого». Таким образом, Я уговорил В идти в «Метрополь». В ресторане «Метрополь» Я и В заняли стол на четверых, заказали бутылку шампанского «Редерер 1948», рыбное ассорти, два салата из крабов, две котлеты по-киевски, мороженое, кофе. Я был приглашен на танец сотрудником посольства Испании Рамоном Гомесом. Вскоре Гомес и его московский приятель владелец антикварного магазина «Атриум» В. Г. Пожарский пересели за стол к Я и В. Гомес заказал еще 3 бутылки шампанского, Я достал из сумки кокаин и угостил новых знакомых. В от кокаина отказался. Гомес предложил поехать к нему домой, но В сказал, что с Пожарским он не поедет, потому что «принципиально не дает бородастым». Я стал уговаривать В, просил его «засунуть свои принципы в пизду поглубже». На что В обозвал Я «Спасскими воротами» и предложил себя Гомесу. Я плеснул в лицо В шампанским. В полез драться на Я, но Пожарский удержал его и сказал, что он готов сбрить бороду. Тогда В подозвал официанта и потребовал принести бритвенный прибор. Официант отказался. Тогда В вынул сто рублей и дал официанту. Официант принес бритвенные принадлежности и безопасную бритву. В сказал, что «слово не воробей» и потребовал, чтобы Пожарский сейчас же за столом побрился. Пожарский ответил, что шутка зашла слишком далеко, и что ему пора идти. Тогда В сказал, что сумеет отрезать ему уши и безопасной бритвой. Я стал удерживать В, но В бросил в лицо Я мороженое. Пожарский выбежал из зала. Я стал бить В. Гомес пытался разнять их. Официанты вызвали наряд милиции. Я, В и Гомес были доставлены в 12 отделение милиции. Гомес вскоре был отпущен. В отделении В и Я грубо вели себя с сотрудниками милиции, оскорбляли их честь и достоинство.

Сталин бросил лист на стол, стряхнул пепел в хрустальную пепельницу, глянул на притихших сыновей:

– Может их посадить? На пятнадцать суток. Пусть метлой помашут. А, Лаврентий? – он посмотрел на Берия и на остальных. – Что вы стоите, как в гостях? Садитесь, садитесь. Члены правительства сели.

– Иосиф, – заговорил Берия, – случилось, наконец, то, чего мы ждали шестнадцать лет. Это событие трудно переоценить. Необходимо...

В это время за дверью послышались веселые женские голоса и голос Сисула. Щелкнул замок, дверь открылась и вошли жена Сталина Надежда Юсуповна Аллилуева с дочерью Вестой. Супруга и дочь вождя были одеты в русском стиле. На Аллилуевой было вечернее платье абрикосового шелка, с соболиной оторочкой и жемчужным ожерельем, перехваченным снизу большим рубином; темно-каштановые, красиво уложенные волосы облегла жемчужная самшура; в ушах светились рубиновые в бриллиантах подвески, на полноватых руках золотился тяжелый браслет и сияли два изумительных бриллиантовых кольца императрицы Марии Федоровны. Стройную фигуру дочери красиво облегал узкий, шитый золотом, серебром и жемчугом, бело-серо-сиреневый сарафан; голову Весты украшал жемчужно-бриллиантовый кокошник, в длинную черную косу были вплетены коралловые нити; в ушах синели серьги из бирюзы и жемчуга, пальцы сверкали изумрудами и бриллиантами.

– Иосиф, какой ты концерт пропустил, – заговорила Аллилуева своим насмешливым, но приятным голосом, не обращая внимания на сидящих на полу сыновей. – Как сегодня здорово было! Какая молодец Русланова! Клим Ефремыч, а? Да и все! Пятой, Массальский, Бунчиков и Нечаев... А этот молодой сатирик... Майкин, Байкин... как его? Какой талантливый парень! Про мясо в соплях? «Куда интеллигенту сморкаться, как не в антрекот?» Зайкин?

– Гайкин, кажется, – подсказала дочь, перешагивая через ноги Якова, подходя к отцу, садясь рядом и целуя его. – Папка, а мы сегодня не с правительством сидели. Вот!

– Да? – рассеянно спросил Сталин.

– Мы с артистами сидели. В мхатовской ложе. Яншин такой смешной! Ты знаешь, оказывается, у него на подоконнике живет настоящий...

– Надя, – вдруг перебил дочь Сталин, – я принял сейчас решение. Я отдаю Василия в интернат. Пусть заканчивает одиннадцатый класс в интернате для трудновоспитуемых. Это первое. Второе: если я еще раз узнаю, что ты даешь Якову деньги, я переселю тебя к нему.

Аллилуева посмотрела на Якова, глянула в глаза Сталину, подошла к белому телефону, сняла трубку:

– Машину, пожалуйста.

Положив трубку, она подошла к двери, ведущей в детскую половину квартиры, открыла:

– Веста, Василий, идите спать.

Веста вышла. Василий, встал, хрустя осколками, и побрел за сестрой,

Аллилуева закрыла за ними дверь, подошла к Якову, помогла ему встать:

– Жди меня в машине.

Яков, пошатываясь и держась за затылок, подошел к двери, стукнул три раза. Сисул отпер ее и выпустил Якова.

Аллилуева вынула из сумочки золотой портсигар, достала папиросу. Берия поднес зажигалку. Аллилуева затянулась, устало выпустила дым в сторону Сталина:

– Не стоит прикрывать свою тупую мещанскую ревность заботой о воспитании детей.

Твои руки заточены на народные массы, а не на детей. Так что оставь моих детей в покое. Она вышла.

Сталин курил, глядя в окно. Стали бить часы на Спасской башне.

Молотов посмотрел на свой брегет:

– У! Полночь...

– Иосиф, землеёбы прислали нам третий конус, – заговорил Берия. – Он здесь, во дворе.

Надо принимать решение.

– Пусть живет у него, – произнес Сталин. – Анастас. Как ты думаешь?

– Я думаю Иосиф, что пора от семейных дел перейти к государственным, – ответил Микоян.

Сталин посмотрел на него так, словно увидел впервые этого грузного серьезного человека.

– Ты понял, что произошло? – спросил Берия.

– Что? – спросил Сталин, переводя тяжелый взгляд на Берию.

– Землеёбы прислали третий конус.

Сталин сощурился, оттопырив губы, и осторожно положил недокуренную сигару в ложбинку пепельницы. Затем медленно повернул голову вправо и посмотрел на стоящий рядом с диваном кусок дорической, изъеденной временем колонны, высотой около полуметра. На пожелтевшем мраморе лежал узкий золотой пенал. Сталин взял его в руки, открыл и вынул маленький золотой шприц и маленькую ампулу. Ловким лаконичным движением он преломил ампулу, набрал шприцем прозрачную жидкость, открыл рот, воткнул шприц себе под язык и сделал укол. Затем убрал шприц и пустую ампулу в пенал и снова положил его на мрамор. Вся эта процедура, давно ставшая частью жизни вождя, тысячи раз описанная и пересказанная на десятках языках мира, сотни раз снятая на кинолентку, запечатленная в бронзе и граните, выписанная маслом и акварелью, вытканная на коврах и гобеленах, вырезанная из слоновой кости и на поверхности рисового зерна, прославленная поэтами, художниками, учеными и писателями, воспетая в простых застольных песнях рабочих и крестьян, была проделана Сталиным с такой поразительной легкостью, что присутствовавшие, как и бывало с ними раньше, оцепенели и опустили глаза.

– Повтори еще раз, Лаврентий, – произнес Сталин, беря сигару

– Землеёбы прислали нам третий конус. Он находится теперь под окнами. Прими решение.

Сталин задумался. Щеки его медленно розовели, в глазах появился мягкий блеск.

– Это те самые сибирские землеёбы, что пустили в тридцать седьмом поезд под откос? – спросил он.

– Те самые, – кивнул Берия, закуривая.

– Значит, их машина времени – не бред наших академиков.  
– Не бред.  
– И что ...на этот раз? Опять лед?  
– Да. Большой кусок льда.  
– И куда они его бухнули? Жертвы были?  
– Слава Богу, нет. Это появилось в Большом театре, во время концерта.  
– Вот как? – усмехнулся Сталин. – Жаль, что я не пошел. Ну и что ...этот лед?  
– Там есть что-то внутри. Как и в последний раз.  
– Опять мальчик рогатый? – Сталин встал, потянулся и прошелся по гостиной.  
– Мы не знаем, что там. Но внутри точно что-то есть. Просто лед они бы не прислали. Надо принимать решение.  
– А что ...решение. Вызывайте специалистов. Это же по твоему ведомству. Причем здесь товарищ Сталин?  
– Ты хочешь сказать, что тебя это не интересует?  
– Меня это крайне интересует. Но что ты конкретно хочешь от меня? Чтобы я снял трубку и позвонил в Академию наук?  
Берия переглянулся с Молотовым.  
– Иосиф, но это дело государственной важности, – заговорил Молотов. – Мы полагали, что теперь, после третьего послания, ты более внимательно отнесешься к этому феномену  
– И в полной мере осознаешь свою ошибку тридцать седьмого года, когда Ежову удалось тебе доказать, что версия с машиной времени – ложь, придуманная вредителями-железнодорожниками для оправдания крушения поезда, – вставил Берия.  
– Моя ошибка, товарищ Берия, – подошел к нему Сталин, – заключается в том, что я поверил. Но не Ежову в 37-ом. А Великому Ленину в 32-ом, предложившему Ежова на пост наркома внаудел и лично поручившемуся за него. Но, к сожалению, Великий Ленин сам заплатил за мою ошибку Своей жизнью. Когда его креатура Ежов подослал к нему убийц. Так товарищ Сталин однажды поплатился за свою слепую доверчивость вождям. Ты хочешь, чтоб он поплатился снова?  
– Речь не об этом, Иосиф, – встал Ворошилов. – Просто, нам кажется, ты до конца не осознаешь важности того, что случилось сегодня.  
– Секта людей, сбежавших от цивилизации в 2068-ом году, чтобы ебать сибирскую землю, прислала нам в 1954-ый кусок льда. Осознать это явление далекому от науки товарищу Сталину действительно не просто. Он же учился всего в двух университетах и не кончал Академию Генштаба, как товарищ Ворошилов.  
– Что за абсурд, Иосиф? – поморщился Ворошилов.  
– Все фармацевты мира говорят «что за абсурд, Иосиф?» И ты с ними?  
В гостиной наступила полная тишина.  
За дверью послышалось поскуливание собаки. Сисул впустил проснувшуюся и соскучившуюся по хозяину Антанту. Левретка стремительно внеслась в гостиную и с разбегу прыгнула Сталину на грудь.  
– Ну, ну, я здесь, здесь... – подхватил Сталин собаку, отводя в сторону руку с сигарой. – Выспалась, моя красавица. Собака восторженно лизала вождю лицо.  
– Ступай в ванну, пописай, – он приоткрыл дверь, ведущую на свою половину квартиры, Собака юркнула в проход.  
Сталин стряхнул пепел в китайскую вазу, повернулся к сидящим:  
– Чего вы ждете, товарищи?  
Сидящие переглянулись с угрюмо молчащим Ворошиловым.  
– Кто занимается проблемой мягкого времени? – спросил Сталин.  
– Ландау, Сахаров и Вернадский, – ответил Берия.  
– Вот и вызови Ландау, Сахарова и Вернадского. Пусть они сделают заключение. Берия подошел к телефону:  
– Может, вызвать только Ландау и Сахарова?

- Почему?
- Вернадский пожилой, не совсем здоровый человек. Не хочется тревожить его ночью.
- Вызови двоих, – Сталин из окна посмотрел на стоящий во дворе грузовик. – И перевези эту штуку куда-нибудь. Кроме Кремля другого места нет?

Надежда Аллилуева и Яков Сталин лежали на громоздкой двуспальной кровати красного дерева и курили. Необъятная восьмикомнатная квартира Якова была погружена в темноту. В сильно захламленной спальне на тумбочке горел синий ночник и стояло серебряное ведерко с бутылкой шампанского.

- У тебя в спальне почему-то всегда пахнет ванилью, – произнесла Надежда, разглядывая профиль Якова. – Почему?
- Это от пылесоса.
- Как?
- Явдоха каждый день пылесосит ковер. Я ей запретил что-либо трогать и убирать в моей квартире. Разрешил только полы мыть, да пылесосить. Вот она и старается. А пылесос почему-то выпускает сладкий воздух.
- Надо же! А я думала, ты тут лежишь и целыми днями ешь пирожные.
- Я теперь практически не ем сладкого.
- Это почему же? – она провела пальцем посередине его лба, носа и губ. – Ты и так худой, как щепка.
- А это плохо?
- Мне нравится. Я люблю между ребер целовать, – она стала медленно целовать его грудь, спускаясь к ребрам.
- *Ego* ты тоже любишь между ребер целовать?
- Сейчас укушу, – пригрозила Надежда.
- Только не за яйца, – зевнул Яков и кинул папиросу в ведерко. Окурок зашипел во льду.
- Поеду-ка я в Венецию, – Яков повернулся к ней. – В Москве весной так погано.
- В Венеции сейчас не лучше. Поезжай лучше в Испанию. Там в середине марта все цветет. А мы с графом к тебе приедем.
- Я не люблю втроем, ты знаешь.
- Ну, я одна приеду.
- Не смейся, – он потрогал свою распухшую щеку. – *Connard de merde!*
- *Mon chat ... tu es fatigued?*
- *Mais non, putain de merde...* Васька стал решительно невыносим. Он пьянеет от одного бокала и ведет себя как свинья. Сегодня вообще... полез на меня с кулаками из-за какого-то мудака испанца. Мало ему Эренбурга. Все, зарекаюсь брать его в кабаки, – Яков трижды перекрестился.
- Не зарекайся, – Надежда стянула простыню с бледного-синего от света ночника тела Якова, осторожно взяла в руку его член. – Родным по крови надо все прощать.
- Он полуродной. И полубезумный.
- Он вышел отсюда, – Надежда взяла вялую руку Якова и прижала к своим бритым гениталиям, – значит – родной, Она сжала безвольную руку Якова бедрами и опять взяла его член:
- Жаль, что я тебя не родила.
- А ты попробуй с Васей. У него толстый хуй. В отца. Не то, что у меня. Хочешь попробовать?
- Пока нет, – ритмично сжимая бедрами его руку, Надежда ласкала член. – Ты меня сегодня не хочешь?
- С набитой мордой как-то... не очень.
- Тебя же часто бьют твои любовники.
- Это кто тебе сказал?

– Не важно. Они тебя бьют, а потом сношают. Сношают Яшеньку в попку. А Яшенька плачет и стонет, плачет и стонет, плачет и стонет.

Приподняв голову, Яков посмотрел на нее, откинулся на подушку и засмеялся:

– Дура! Вот дура!

Член его напрягся, пухлая рука Надежды умело ласкала его.

– Это охрана тебе горбатого лепит? – Яков налил себе шампанского, выпил. – Меня последний раз ты ударила. Полгода назад. И то – в шутку.

– А, на Яблочный Спас? Когда ты так мерзко испугал меня? Надо было тогда тебе сломать что-то. На память.

– Боишься мертвых?

– Сейчас оторву тебе скипетр.

– Скажи, а ты боишься именно мертвых, или смерти вообще?

– Заткнись, поросенок... не то... вот так... – она с силой сжала его член; головка набухла и побагровела. Яков поморщился:

– Иии... У тебя сильные руки... оой... слушай, а почему он дважды женился на левшах? Вот загадка для биографов...

– Задушим... задушим твоего зверя... как собаку-Тито... басовой струной от рояля...

– Слушай, а может, ты мне все врешь?

– Ааа... mon petit neoglobaliste... voila, et ici... – увлеченно продолжала она, глядя на разбухающий член.

– Может, он просто перестал тебя есть? А Пастернак тебе больше не дает?

– Что? – спросила Надежда, не выпуская члена из руки.

– Я говорю, может он уже давно... – с улыбкой заговорил Яков, приподнимая голову, но, встретившись со взглядом ее зеленых насторожившихся глаз, осекся.

Она посмотрела на него как на труп давно забытого, но родного человека, встала и вышла из спальни. Слышно было, как она долго идет босая через всю квартиру в прихожую – ко второму телефонному аппарату

– Nadine! – нехотя крикнул Яков, глядя на свой фиолетовый член. – Это очень глупая шутка... pardonne-moi! Надежда взяла трубку.

– Машину, пожалуйста, – донесся до Якова ее слабый голос.

– Говно, connard de merde... – он со вздохом откинулся на испачканную его помадой и тушью подушку. – Если с утра – говно, то и весь день – говно. Полное говно.

К половине второго ночи в Кремль были доставлены академики Ландау и Сахаров. Глыбу просветили, убедившись, что в ней – монстр с чемоданчиком на коленях. Были оперативно взяты пробы льда. В нем не обнаружили ни яда, ни радиации. Решено было поместить глыбу в теплое помещение, дожидаться полного естественного размораживания и посмотреть на замороженного монстра. Сталин предложил совместить это с ужином. Ледяной конус внесли в Грановитую палату и положили в большой медный поддон, доставленный из Монетного двора. К глыбе приставили четырех охранников с автоматами. Рядом на стулья сели два профессора – микробиолог и физик-релятивист. Помимо Молотова, Ворошилова, Берии, Микояна, Ландау и Сахарова, Сталин пригласил на ужин Булганина, Кагановича, Маленкова, князя Василия, сахарозаводчика Гуриновича, писателей Толстого и Павленко, композитора Шостаковича, художника Герасимова и кинорежиссера Эйзенштейна. Гости были введены Берией в курс дела. Когда все уселись за длинным, изысканно сервированным столом, Сталин встал с бокалом шампанского в руке. На нем был темно-зеленый, бутылочного оттенка костюм, идеально подчеркивающий стройность его фигуры; напомаженные волосы были гладко уложены, высокий белоснежный воротник стягивала широкая полоса бриллиантового ожерелья со знаменитым тридцатикаратным изумрудом, подаренным вождем шахом Ирана; породистое точеное лицо светилось бодрим вниманием к происходящему.

– Товарищи, – заговорил Сталин, – мы собрались здесь по поводу уникального, феноменального явления. Такими подарками окружающий мир балует нас не часто. Уже дважды россияне третьего тысячелетия пытались связаться с нами. И дважды им мешали. В 1908 году помешало бездарное царское правительство, в 1937-ом – преступник и враг народа Ежов. Сегодня, похоже, людям будущего впервые удалось до нас достучаться. Свое послание нам, советским гражданам, они прислали в этом куске льда в день открытия Всероссийского Дома Свободной Любви, что само по себе символично. Великолепный дворец любви, освобожденной от вековых предрассудков, мы строили почти шесть лет. День открытия его золотых ворот стал всеобщим праздником, торжеством свободы и новой советской морали. И именно в этот славный день мы получаем третье послание из будущего. Я не знаю, что прислали нам наши праправнуки, но мой внутренний голос, к которому я прислушиваюсь всю мою сознательную жизнь, подсказывает мне, что это послание связано с нашей трудной и беспримерной работой по освобождению человека, с тем великим путем, которым идет наш великий народ. Поэтому я предлагаю выпить за Россию. Россию прошлого, настоящего и будущего.

Все встали. Сталин протянул бокал и стал чокается с рядом сидящими. Хрустальный перезвон поплыл под расписными сводами Грановитой палаты. Все выпили и сели. Стол был прелестный: на бело-голубой домотканной скатерти русского стиля стояла золотая и серебряная посуда Александра I; обильная русская закуска дразнила своим многообразием; здесь были копченые угри и заливная осетрина, паштет из оленины и фаршированные рябчики, простая квашеная капуста и телячьи языки с мозгами, соленые рыжики и заливные поросята с хреном; в центре стола высился золотой медведь, держащий на плече коромысло с двумя серебряными ведерками, наполненными черной, маслянисто блестящей белужьей и мелкой, сероватой стерляжьей икрой.

Парни в кумачовых рубахах внесли деревянную доску с горячими филлиповскими калачами и принялись обслуживать гостей, накладывая каждому поллюбившейся икры и намазывая калачи вологодским маслом.

– Между первой и второй промежутки небольшой! – громко заметил Каганович, приподнимаясь с рюмкой водки.

Хитроватое лицо его, наполовину скрытое гладкой седоватой бородой, было подвижным и плоским, как у монгола; небольшие искрометные глазки весело блестели, в светлосерой тройке с сине-зеленым галстуком и белой гвоздикой Каганович напоминал шафера на купеческой свадьбе.

– Я, как человек наиболее легкомысленный из всех присутствующих, а следовательно, вполне заслуженно наименее отягощенный, как выразился поэт, «чугунной властью государства», предвидя нарастание вашего тотального внимания после каждой опрокидываемой здесь рюмки к процессу таяния этого зловещего айсберга, хотел бы все-таки напомнить вам о дне сегодняшнем, о его непреходящих ценностях, о главном его событии. Сегодня я после церемонии открытия Дома Свободной Любви сразу посетил его, Товарищи дорогие! Я давно не ебал с таким самозабвением! Я пускал сперму три раза и три раза плакал, понимая, какое великое дело сделали мы во главе с товарищем Сталиным. Но я предлагаю выпить не за нас и не за товарища Сталина. А за тех безымянных женщин, мужчин и детей, покорно и с удовольствием разводящих прелестные ноги во всероссийском храме свободной любви! За женщин, мужчин и детей, товарищи!

Все выпили,

– Редкий болван, – шепнул полный, флегматичный Шостакович на ухо худощавому, всегда болезненно-желчному Герасимову.

– И именем эдакого фетюка названо наше метро? – пробормотал сидящий рядом с ними щеголеватый альбинос Эйзенштейн.

– Между прочим, креатура Ильича, – потянулся к поросенку Герасимов. – Говорят, он Ленину натурально рассосал две геморроидальные шишки. Такое в нашем возрасте не забывается.

– Ильич умел благодарить. Не то что нынешний... – Шостакович захрустел рыжиком.

– Товарищ Толстой, почему не закусывайте? – спросил Сталин, отправляя в рот солидную порцию стерляжьей икры, – Ученые предупредили – ждать долго придется.

Узколицый, тихий, скромно одетый Толстой навел лорнет на таящую глыбу, покачал головой:

– Товарищ Сталин, кусок в горло не лезет. Страшновато как-то ...рядом с этим.

– Не бойтесь. Если товарищ Берия с нами – все обойдется. Попробуйте белорыбицы нашей северной. Frutti di mare вам наверно оскомину набили.

– Нет, не верю, что этот лед из будущего! – воскликнул грузный, громкоголосый Гуринович. – Что хотите со мной делайте, господа, хоть, pardon, подвесьте за яйца, – не-по-ве-рю!

– Если подвесим – поверите, – заметил Берия, с хирургическим равнодушием кромсая заливное.

– Вас просто разыгрывает какая-то заокеанская сволочь! – тряс брылами Гуринович. – Тамошние плутократы уже полвека тянутся к нашим рынкам, а для этого все средства хороши!

– А при чем здесь лед? – спросил Маленков.

– Да притом, батенька, что тамошние жида поумнее наших! Вон, – Гуринович ткнул вилкой в сторону льда, – у этого ублюдка на коленях чемоданчик! А что в нем? Процентные векселя по царскому долгу! С датами этого две тыщи мохнатого года, печатями и подписями! Они же спят и видят, чтобы мы продлили договор по плану Маршала! Векселя – как туз пик из будущего и стальная петля дяди Сэма в настоящем! Не понимаете?! Ничего! Когда ваши болонки захрустят кубинским рафинадом, а не моим – тогда поймете! Тогда все спляшем «янки дудль»! Блядям будем доллары в бюстгальтеры совать! – он в сердцах хватил кулаком по столу.

– Товарищ Гуринович явно торопит события, – улыбнулся Молотов. – Содержимое этого чемоданчика – большая тема для дискуссии, но бесперспективная.

– Это почему же? – насупился Гуринович.

– Потому что через пять часов мы его с вами откроем, – Берия вытер кружевной салфеткой свои полные чувственные губы. – Так что, не стоит прежде времени стулья ломать.

– И все-таки сомнение велико, товарищи, – заметил Шостакович, глядя на Сталина. – Кто поручится, что это посылка действительно из будущего? А не из ЦРУ?

– Вы меня спрашиваете? – усмехнулся Сталин. – Среди нас два академика.

– Три! – засмеялся Герасимов, поднимая рюмку с водкой и чокаясь со своим носом.

– Живопись – не точная наука, товарищ Герасимов, – парировал Сталин. – А значит сегодня – вы не в счет. Товарищ Ландау, рассейте сомнения.

– Господа, – поспешно дожевывая буженину полный, кучерявый и круглолицый Ландау, – этот конус послан нам из 2068 года И это научно подтвержденный факт.

– Каким же образом он подтвержден, позвольте вас спросить? – вставил сигарету в перламутровый мундштук князь Василий.

– Только, боже упаси, без формул! – попросил Гуринович.

– Корпус транспортируемой части машины времени сибирских зороастрийцев вырублен из гранита. При транспортиции сквозь мягкое время он превращается в пыль. Частицы этой гранитной пыли есть на поверхности льда. Мы проверили ее возраст методом изотопов. Выяснилось, что этот гранит не имеет возраста. А такого быть не может. Граниту – сотни миллионов лет.

За столом возникла пауза.

– Да, но ведь гранит, из которого рубили эти самые les misérables зороастрийцы, все же имел возраст? – спросил князь Василий.

– Имел в будущем, безусловно, – по детски непосредственно улыбнулся Ландау. – Но при прохождении сквозь мягкое время лептоны антиатомов аннигилируют свободные электроны в молекулах гранита, образуя антинейтроны, которые за 896 секунд как раз

успевают распасться на антипротоны и позитроны. Позитроны временно деформируют поля исходных электронов, поворачивая их спин на 180 градусов, соответственно изотопы в кусках такого гранита перестают распадаться. А антипротоны в процессе обратной бета-конверсии поглощают энергию и замораживают пары воздуха. Все крайне просто.

– Этого я не понимаю, – обиженно пробурчал Гуринович, оторвал дужку от калача, обмакнул ее в рюмку с водкой, затем в хрен и сунул в рот.

– А когда вы успели проверить эту пыль на изотопы? – спросил князь Василий. – Сейчас? Сегодня ночью?

– Товарищ Ландау сделал это еще в 37-ом году, – пояснил Молотов. – Когда землеёбы прислали второй конус.

– За что и был посажен врагом народа Ежовым на два года, – добавил Микоян, с аппетитом поедая рябчика, фаршированного гусиным паштетом.

– Но у товарища Сахарова другое обоснование, – заметил Берия.

– Вот как? Интересно, – Сталин посмотрел на Сахарова, пьющего квас из серебряного кубка.

Широкоплечий статный Сахаров встал, привычным движением смуглой большой руки огладил свою щегольскую рыжеватую эспаньолку:

– У нас с Львом Давидовичем принципиальное расхождение по этому вопросу. Я постараюсь объяснить проще. В современной релятивистской физике существует три концепции мягкого времени: Ландау, Гейзенберга, которые после феномена-37 и сегодняшних событий не выдерживают никакой критики, и, наконец, – моя. Концепция Ландау основана на утверждении, что мягкое время – это подвижная лагуна в жестко структурированном временном потоке. Проще говоря, это как подводное течение в реке: пока человек плавает по поверхности, он движется вместе с рекой, но как только он ныряет, то начинает плыть против течения. Я доступно объясняю, товарищи?

– Вполне, – кивнул Сталин. – И что же вас не устраивает в теории Ландау?

– Меня, в принципе, не устраивает концепция времени как линейного потока. Время – не река.

– А что же это? Болото? – спросил Каганович.

– Время, по-моему, это огромный бесконечный качан капусты, а его листья – это годы, часы, микросекунды, в которых мы живем. Каждое событие нашего мира привязано к конкретному листу этого кочана и обитает на нем, ну, скажем, как тля. А мягкое время – это червь, который способен проедать ходы в кочане, свободно перемещаясь по ним.

– И переносить тлей на своей жирной спине? – спросил Сталин.

– Совершенно верно, товарищ Сталин! – рассмеялся Сахаров и указал на глыбу льда: – Вот одна из этих самых тлей, *bitte, meine Herrschaften!*

Все засмеялись.

От глыбы отвалился оттаявший кусок льда и громко упал в поддон. Поддон загудел.

Все стихли.

– Обижается, что его тлей назвали, – заметил Сталин, и все снова засмеялись.

Сталин поднял рюмку, намереваясь встать, но сидящий рядом Берия предупредительно взял его руку:

– Позволь мне, Иосиф.

– Уступаю силе тайной полиции, – улыбнулся Сталин. Берия встал с бокалом хереса, который он предпочитал другим напиткам:

– Друзья. Мне хотелось бы сказать несколько теплых слов о наших замечательных советских ученых, двое из которых присутствуют здесь. Благодаря нашей науке, страна Советов из отсталой аграрной империи стала индустриальным гигантом. Благодаря нашей науке, у нашего народа появился ядерный щит, способный окоротить любого агрессора. Наконец, наши ученые вплотную подошли к разгадке феномена времени. Представляете, что ждет всех нас, когда советские люди смогут управлять временем? Я сам человек

хладнокровный, не поддающийся эмоциям. И тем не менее, товарищи, у меня дух захватывает, когда я думаю об этом. Выпьем же за здоровье наших ученых!

Все встали и выпили.

– Да. Значит, в споре товарищей Ландау и Сахарова должна родиться истина? Так товарищ Сахаров? – Сталин сел, положил себе кусок белорыбицы, зачерпнул хрена золотой ложечкой.

– Ganz Genau, Genosse Stalin! – захрустел соленым огурцом Сахаров.

– Okay, Genosse Sacharoff, – Сталин покрыл белорыбицу ровным слоем хрена, отрезал кусочек и отправил в рот. – С одной стороны – истина рождается. А с другой – кто-то из вас двоих будет вынужден констатировать: Ich habe meine Sache auf Nichts gestellt.

– Без этого в науке не бывает, товарищ Сталин! – оживленно закивал Ландау. – Фундаментальному открытию предшествует множество ошибок. К счастью, в советской физике есть кому их поправить.

– Слава Богу, товарищ Ландау К сожалению, нам, советским политикам, остается только завидовать вам, советским физикам.

– Не понимаю вас, товарищ Сталин, – круглолице улыбался Ландау – Чему же вам завидовать?

– Методам исправления ошибок, товарищ Ландау. Предположим, ошибся товарищ Сталин в решении национального или крестьянского вопроса. Как надо поправить товарища Сталина?

Все молча посмотрели на него.

Сталин обвел гостей взглядом своих живых карих глаз, блестящих теперь сильнее обычного:

– Так как же? Что вы молчите?

– Ну, – нерешительно зашевелился Толстой, – вероятно, необходимо посоветовать... покритиковать вас.

– Покритиковать? – поднял красивые брови Сталин и быстро опустил голову, готовясь рассмеяться своим знаменитым сталинским смехом.

Смех этот был особенным, не похожим ни на какой другой. По плечам Сталина прошла судорога, красивая голова его дернулась, Сталин резко откинулся назад, на спинку стула, с шипением втянул сквозь сжатые зубы воздух и так же стремительно дернулся вперед с невероятным звуком, напоминающим рев морского котика; затем опять откинулся назад, всосал воздух и заревел; раскачивания его стали убыстряться, звук рева укорачивался, становясь все более отрывистым, переходя в род хрюканья; вдруг тело его забило между столом и спинкой стула, хрюканье перешло в нестерпимый, потрясающий сердца визг, Сталин словно окостенел в сильнейшей судороге; все тело вибрировало мельчайшей вибрацией, голова постепенно откинулась назад, сильно побледневшее лицо с выпученными глазами уставилось в низкий сводчатый потолок и из широко раскрытого рта вождя вырвался нечеловеческий крик:

– Ясауууух пашоооо!!! Сразу все облегченно засмеялись. Сталин достал из кармана платок алого шелка, вытер свое лицо и громко высморкался.

– Нет, товарищ Толстой, – продолжил Сталин, успокоившись. – Покритиковать за ошибки могут у вас на пленуме Союза писателей. А у нас, политиков, по-другому И если товарищ Сталин ошибся, его надо не критиковать, А объявить врагом народа, высечь бычьей плетью на Лобном месте и повесить на кремлевской стене, чтобы московские голуби расклевали его никчемное тело.

В зале наступила мертвая тишина.

– Что вы нас пугаете, товарищ Сталин, – с трудом заговорил Эйзенштейн.

– Так вот инфаркты и случаются! – тряхнул брылами Гуринович.

– Товарищи, у меня есть актуальный тост по поводу ошибок, – начал приподниматься со своего места Микоян, но Сталин поднял руку:

– Повремени, дорогой Анастас. Мне нужно.

Микоян понимающе кивнул и сел.

Сталин взял лежащий рядом с ним на столе колокольчик, позвонил. Сразу же появились четверо младших офицеров МГБ: трое везли тележку с куском той самой мраморной колонны, четвертый нес золотой пенал со шприцем. Они поставили колонну рядом со Сталиным, положили на нее пенал и вышли, увозя тележку.

Сталин взял пенал, достал золотой шприц, ампулу и как всегда изящно уколол себя в основание языка. Гости опустили глаза.

– Прощу тебя, Анастас, – Сталин положил футляр со шприцем на колонну.

Микоян встал с бокалом красного вина:

– Друзья, я хоть и восточный человек по крови, но никогда не умел говорить тостов.

Отсюда вывод – никакой я не восточный человек, а типичный неромантический москвич и к тому же 1-ый зам. пред. Совмина по совместительству.

Все засмеялись.

– Так вот, этот москвич с восточной кровью давно уже обратил внимание на один любопытный факт, – Микоян с лукавой улыбкой посмотрел на сидящих. – Каждый раз, когда товарищ Сталин говорит о...

Вдруг от глыбы отломился солидный кусок льда и с грохотом обрушился в поддон. Гул от загудевшего поддона поплыл по залу.

Все притихли. Микоян стоял с бокалом в руке.

– Будто колокол вечевой, прости Господи... – перекрестился Герасимов.

– Товарищ Берия! – позвал микробиолог. Берия встал, подошел к глыбе, глянул. На месте отвалившегося куска виднелась часть ноги замороженного.

– Что там, Лаврентий? – спросил Сталин.

– Показалось колено этого бастарда, – Берия наклонился поближе.

– Товарищ Берия, лучше руками не трогать, – предупредил микробиолог

– Стоит посмотреть? – спросил Сталин, с наслаждением потягиваясь.

– Пока ничего интересного, – выпрямился Берия и повернул свое умное лицо к микробиологу – Сколько ждать еще?

– Лед рыхлый, товарищ Берия, часа через два должен отпасть.

– Через два? – услышал Сталин.

– Через два, товарищ Сталин, – поправил очки микробиолог.

– Что ж, – потрогал свои стремительно розовеющие щеки Сталин. – Тогда, парни, подавайте горячее.

Слуги в кумачовых рубахах, стоящие неподвижно у стен, сорвались с мест, скрылись в дверях.

– Можно мне взглянуть, товарищ Сталин? – встал Толстой.

– Мы все посмотрим, товарищ Толстой. Когда по-настоящему будет на что. Садитесь, пожалуйста. Анастас, извини, что тебя снова перебили. Мы слушаем тебя, топ аті.

– Да у меня как-то ...весь запал вышел! – засмеялся Микоян.

– Мы понимаем тебя, дорогой. Это крайне неприятно, когда перебивают, – качнул головой Сталин. – Мой покойный отец никому этого не прощал. Скажи просто – за кого нам пить?

– За правду.

– Превосходный тост! – неожиданно громко воскликнул Сталин, вскочил с места и пошел к Микояну – За правду! Великолепно, Анастас! Просто великолепно! За правду!

Превосходно!

Он трижды расцеловал Микояна в его гладкие желтые щеки, щелкнул пальцем:

– Шампанского! Непременно шампанского! За правду! Пьем за правду! Господи! – Сталин прижал ладони к пылающим щекам. – Многие годы, даже десятилетия я мучительно ждал, чтобы кто-то из вас хоть раз произнес этот простой, как плач ребенка, тост. Хоть кто-нибудь, хоть раз! Один-единственный раз!

Он замолчал и быстро прошелся вдоль стола. Все смотрели на него. Слуги, подошедшие было к серебряным ведеркам с бутылками шампанского, замерли. Слышно было, как

шуршит каменный пол под подошвами узконосых ботинок вождя да часто капает в поддон талая вода.

– Правда... правду... ничего, кроме правды... – задумчиво произнес Сталин. – Сколько людей сидели за этим столом. И ведь не простые люди. Советская элита. Сливки общества. И ни один из них ни разу не додумался поднять тост за правду.

– Лучше поздно, чем никогда, Иосиф, – улыбнулся Микоян.

– Молчи! – резко одернул его Сталин, подошел к столу и посмотрел на сидящих так, словно видел их впервые.

Взгляд его дошел до Толстого.

– Так что же случилось, господа? – спросил Сталин, глядя ему в глаза.

Толстой медленно встал. Его сутуловатая худая фигура в старомодном стального оттенка костюме с двубортным пиджаком и золотыми пуговицами с двуглавыми орлами нависла над сверкающим золотом и хрусталем столом. Узкое, мучнисто-белое лицо непонимающе смотрело на Сталина белесыми глазами навывкате.

– Вы же мастер слова, не так ли? – спросил Сталин.

– Я... член Союза писателей, товарищ Сталин, – глухо произнес Толстой.

Сталин пристально заглянул ему в глаза, сделал шаг назад, размахнулся и ударил Толстого кулаком в лицо. Толстой размашисто упал на стол, узкая лысоватая голова его гулко ударила в золотого медведя и опрокинула его. Остатки икры, вылетев из серебряных ведерок, попали на костюмы Кагановича, Маленкова и Булганина. Сталин схватил золотую чашу с оленьим паштетом, нахлобучил на голову ворочающегося на столе Толстого, затем схватил писателя за мосластую руку, потянул со стола:

– Стоять!

Толстой, давя хрусталь, слез со стола и встал, пошатываясь. Золотая чаша сияла у него на голове, выдавленный паштет валился писателю на плечи и грудь, кровь текла из разбитых губ.

– К сожалению, вот так выглядит современная советская литература, – показал Сталин на Толстого, подошел к своему месту и сел. – Идите, товарищ Толстой, приведите себя в порядок и присоединяйтесь к нам.

Толстой, пошатываясь, вышел.

Каганович, Маленков и Булганин принялись салфетками счищать икру со своих костюмов.

– Я давно уже не читаю толстых журналов, – усмехнулся Булганин. – Открываешь какой-нибудь «Новый мир», читаешь одну страницу, другую, третью... а на двадцатой понимаешь, что это никакой не новый мир. А очень, очень старый.

– Золотые слова, Николай, – кивнул Сталин и пристально посмотрел на Маленкова. – А тебе, *mon petit chat*, если ты будешь *продолжать*, я когда-нибудь здесь, под этими сводами, при всех вот этим ножом отрежу яйцо, посолю, поперчу и заставлю тебя съесть. И если ты, *salaud*, тогда поморщишься, я велю тебя зажарить, как Бухарина. Но не на костре, а на углях. А потом приглашу сюда твоих аппаратчиков, посажу за этот стол и заставлю этих ублюдков съесть шефа под красным соусом. А потом Манизер тебе отольет памятник. Из говна благодарно переваривших тебя сотрудинок. Понял?

– Понял, – отвел узкие бурятские глаза Маленков. Молотов нетерпеливо вздохнул.

– Что ты? – угрюмо посмотрел на него Сталин.

– Иосиф, ты нас обижаешь.

– Почему, Вячеслав?

– Почему ты все время говоришь – я, да я – Я прикажу. я отрежу Большинство из присутствующих здесь товарищей с удовольствием отрезали бы Маленкову все, что можно и что нельзя. А я бы лично, – Молотов взглянул на побелевшее широкоскулое лицо Маленкова, – лично зажарил бы его на углях. На медленных углях.

– Может мне уйти? – встал Маленков.

– Sit down! – скомандовал Сталин, и Маленков сел. Сталин склонил голову:

– Многоуважаемые товарищи члены Политбюро. Я приношу вам свои искренние извинения. А тебе, товарищ Молотов, – персонально. И от души. От всей моей души... Он помолчал, сидя со склоненной головой, и вдруг выпрямился, громко хлопнул в ладоши:

– Перемена скатерти!

Тотчас восемь слуг подошли к столу, взяли скатерть, подняли вместе со всей посудой и закусками, стоящими над головами гостей, и вмиг унесли, оставив пустой стол красного дерева.

Вскоре появилась другая скатерть – красно-белая, с советской символикой; на нее проворные руки слуг поставили новую посуду – дулевского фарфора, расписанную Малевичем. Посередине стола возникло огромное стальное блюдо с целиком зажаренной свиньей; морда ее была препарирована особым образом: на переносице торчало большое бутафорское пенсне, пяточок был сглажен, подслеповатые глазки хитро щурились, желтые зубы злобно торчали из-под презрительно изогнувшихся губ.

Все сразу узнали в свинье иудушку Троцкого.

– Пора бы его самого так вот подать на блюде! – воскликнул Булганин

– Не все враги хороши мертвыми, – заметил Сталин, дегустируя поданное ему в бокале вино. – Рекомендую всем «Киндзмараули» 45-го года.

Слуги вонзили в спину свиньи дюжину ножей и вилок и отошли к стене.

– Прошу вас, товарищи, – пригласил всех Сталин. – Теперь – самообслуживание. Любый кусок – ваш. Жареная свинина с картошкой – правильная советская еда.

Все встали, потянулись к свинье.

Вошел Толстой. Узкое бледное лицо его было спокойно; нижняя губа сильно распухла, на пиджаке виднелись следы паштета и крови.

– Садитесь, товарищ Толстой, – кивнул ему Сталин. Толстой прошел на свое место.

Молотов плюхнул в тарелку вождя громадный кусок свинины.

– Это тебе, Вячеслав, – Сталин подвинул ему свою тарелку. – У Троцкого я ем только уши.

Члены Политбюро засуетились, и в тарелке вождя появились два темно-коричневых свиных уха.

– Мы так и не выпили за правду, – напомнил Ворошилов, поднимая бокал с «Киндзмараули».

– Да-да! – задвигался Молотов. – Иосиф, ты забыл про главный сегодняшний тост.

– Что? – рассеянно прищурил глаза Сталин.

– За правду. Тост Анастаса за правду, – напомнил Молотов.

Сталин внимательно посмотрел на него:

– А что такое правда?

– Правда? – засмеялся, обнажая большие белые зубы Молотов, – Это – правда!

– Ну, а все-таки? – смотрел ему в глаза Сталин.

– Правда... это то, на чем мир стоит, – серьезно ответил Молотов,

Сталин брезгливо вздохнул и повернулся к гостям:

– Кто-нибудь может дать точное определение правды? Все молчали.

Сталин подождал минуту, поднял бокал:

– Не стоит пить за то, что не определимо.

– За что же тогда? – осторожно спросил князь Василий.

– Хватит этих тостов, – сказал Сталин и молча выпил. Все последовали его примеру.

– Замечательное вино! – причмокнул от удовольствия Шостакович. – Одного не могу понять – сколько раз был на западе, никогда не видал в тамошних винных магазинах наши грузинские вина. Никогда! Почему плутократы не продают их?

– Буржуи любят французские вина, – заметил Микоян, отправляя в рот сочный кусок свинины.

– В крайнем случае – итальянские и испанские, – кивнул Эйзенштейн.

– У плутократов вкус испорчен католиками. У них же в причастии – только сухие вина. А у нас – сладкий «Кагор»! – откликнулся Каганович.

– Поэтому они и полусладкого шампанского терпеть не могут, – пробормотал Берия.  
– Но все-таки это странно, товарищи, – Шостакович поднял пустой бокал, и парень в красной рубашке тут же наполнил его. – Такое вино – и не пить?

– Все дело в сахаре. Только в сахаре. Грузинский виноград слишком сладкий для плутократов, – жевал Каганович. – У них у всех диабет!

Гости засмеялись.

– Дело вовсе не в сахаре, – проговорил Сталин, разрезая свиное ухо.

– А в чем же, товарищ Сталин? – спросил Шостакович.

– В 46-ом я угощал де Голля превосходным «Ахашени». Выпили с ним одну бутылку, начали другую. Why not, fuck you slowly? Наконец допиваем вторую. Приносят третью. И де Голль спрашивает: «Иосиф, что это за вино?» Я говорю: «Ахашени». Тебе не нравится?» – «Да нет, – говорит, *– мне-то* как раз нравится. Но оно никогда не понравится французам». – «Почему?» – спрашиваю. «Потому что у него привкус крови». На том и расстались. О сахаре этот Couillon de Couillon ничего не сказал. На каждое Рождество я посылаю ему ящик «Ахашени». А он мне – ящик своего любимого бургонского «Chardonnay».

– Чего ждать от этих лягушатников! – махнул ножом Каганович.

– А от пархатых? – спросил Сталин и захрустел ухом.

– Иосиф, я, между прочим, – еврей, – неловко улыбнулся Каганович.

– Я тоже, – ответил Сталин. – Но только наполовину. Маленков, что у нас со сталью?

– В каком смысле, товарищ Сталин?

– Вот в таком, – Сталин взял с тарелки недоеденное свиное ухо и показал Маленкову. Все смолкли. Только Толстой, не обращая ни на кого внимания, остервенело кромсал, совал в рот и жадно жевал свинину, чавкая и бормоча что-то нечленораздельное.

Маленков вытер губы салфеткой, встал:

– В первом квартале наши домны выдадут не менее двух миллионов тонн стали, товарищ Сталин. Сталин молча разглядывал свиное ухо.

– Интересно... – проговорил он после затянувшейся паузы. – Вот это – жареное свиное ухо. Если посмотреть с нормального расстояния. А если приблизить его совсем к глазу... – он поднес ухо к своим пристально блестящим глазам, – тогда человек может и не знать, что это всего лишь жареное свиное ухо... Здесь открывается такой поразительный ландшафт... горы какие-то... плавные горы... словно их кто-то оплавил... может там взорвали водородную бомбу? – он поднял голову – Сахаров! Вы же работали над водородной бомбой?

– Да, товарищ Сталин, – кивнул Сахаров. – Мы с Курчатовым.

– А где Курчатов? Умер?

– Он... жив, товарищ Сталин.

– Почему?

– Что? Я... не понимаю... – заморгал Сахаров.

Сталин внимательно посмотрел на Сахарова и протянул ему ухо:

– Возьмите.

Берия передал ухо Микояну, тот – Ворошилову, Ворошилов – Кагановичу, Каганович – Ландау, Ландау – Сахарову Сахаров взял ухо.

– Посмотрите... что там... – с тяжелым вздохом потер свои розовые щеки Сталин.

– Ну... это... ухо свиньи, товарищ Сталин... – посмотрел Сахаров.

– Посмотрите ближе, ближе, ближе... Сахаров непонимающе смотрел на Сталина.

– Посмотрите в упор, товарищ Сахаров, – посоветовал Микоян.

Сахаров поднес ухо к глазам.

– Ну, говорите, говорите! – нетерпеливо сморщился Сталин. – Что там было, кто взорвал, почему там... такие вот волны оранжевые... или это море... море окаменело... и куда девались люди... люди мирного труда...

Сахаров внимательно смотрел. Высокий лоб его покрылся испариной.

Теряя терпение, Сталин переглянулся с Берией.

– Товарищ Сахаров, расскажите просто и доходчиво, что вы конкретно видите, – посоветовал Берия.

– Я вижу... поджаренную свиную кожу, – произнес Сахаров, поднимая голову Сталин угрюмо кивнул. Лицо его сразу как будто постарело. Он потер переносицу и посмотрел на огонь стального, стилизованного под серп и молот подсвечника. Пламя толстой красной свечи отражалось в его глазах, лучилось на бесчисленных гранях бриллиантового ожерелья, играло в светло-зеленой глубине изумруда.

Глаза Сталина наполнились слезами. Все сидели, замерев. Даже Толстой прекратил чавкать и, оттопырив разбитую нижнюю губу, тупо уставился на столбом стоящего Маленкова,

Из глаза Сталина выкатилась слеза и упала ему на руку Сталин посмотрел на свою руку, поднес ее ко рту и слизнул слезу

– Соль мира... – тихо сказал он.

Тонкие ноздри его дрогнули, слезы покатались из глаз. Он опустил лицо в ладони и беззвучно заплакал. Несколько гостей оторопело встали со своих мест, но Берия предупредительно поднял руку:

– Спокойно.

Сталин рыдал; плечи его беспомощно вздрагивали, голова тряслась, сквозь побелевшие тонкие пальцы сочились слезы.

Берия встал:

– Товарищи, я прошу вас удалиться.

Члены Политбюро и гости осторожно двинулись к выходу Молотов, решив остаться, сделал Берии знак рукой, но министр Госбезопасности непреклонно покачал головой. Молотов нехотя повернулся и последовал за остальными. Берия кивнул замершим у расписной стены слугам, они неслышно выбежали.

В зале со сводчатым потолком остались только Сталин, Берия и шестеро возле ледяной глыбы.

Берия сел рядом со Сталиным, достал портсигар и закурил.

Сталин рыдал долго. Спазмы накатывали как волны, заставляя его сгорбленную фигуру сильно дергаться или исходить мелкой дрожью.

Берия курил, разглядывая яркую роспись потолка.

От глыбы отвалились сразу несколько кусков. Сталин вздрогнул и стих. Берия положил ему на шею свою длинно-палую белую руку Сталин достал платок и прижал его к раскрасневшемуся лицу:

– Не смотри на меня...

Берия встал, подошел к глыбе, глянул. Глыба треснула и готова была развалиться на две части

– Иосиф, тут дело идет к финалу, – Берия потрогал трещину

Не отнимая платка от лица, Сталин нащупал лежащий на столе колокольчик, позвонил.

Вбежали двое слуг.

– Make-up, – скомандовал Сталин.

Появилась полноватая женщина в форме майора МГБ, с чемоданчиком, подседа к Сталину и стала приводить в порядок его лицо.

– Какая все-таки гнида Маленков, – заговорил Берия, прохаживаясь возле глыбы. – Каждый раз, когда вижу его, теряю самообладание. Как ты его терпишь?

– Он хороший технарь. Знает производство... – глухо отозвался Сталин.

– Но он чудовищный интриган Скольким людям он кровь испортил. Мало ему Куйбышева, Постышева и Косиора. Теперь давит Косыгина. Piece of shit...

– У него колоссальный опыт.

– Косыгин знает тяжпром не хуже его. Вся эвакуация заводов на нем держалась. Деловой парень, денди, из рода чугунных магнатов. Живой, контактный. В гольф играет блестяще.

- Это важно для зам. пред. Совмина?
- Да! – оживился Берия. – Я раньше думал как Маяковский: «Мне – бильярд, отрачиваю глаз; ему же шахматы – они вождям полезней». Шахматы для руководителей – великая вещь. Они учат стратегическому мышлению. А гольф – учит тактике. Во времена Ленина и в тридцатые годы все определяла стратегия. Сейчас, в начале пятидесятых, актуально тактическое мышление. Косыгин – перспективный кадр.
- Не знаю... надо подумать. Маленков много сделал для страны. Хоть он и редкая сволочь... – Сталин встал, глядя в круглое зеркальце, потрогал свою бровь. Женщина тоже встала.
- Да... а что там с «делом банкиров»? – спросил Сталин.
- Я же докладывал тебе утром.
- Сегодня? – Сталин отдал зеркальце женщине.
- Да.
- А что... – Сталин проводил взглядом уходящую женщину, – там с этой канальей Шиповым?
- Работаем. Он пока молчит.
- У тебя и молчит?
- Есть разные люди, Иосиф. Не все так мягкотелы, как Бухарин.
- Значит, Шипов – мужественный человек?
- Просто упрямый.
- Странно. По нему не скажешь.
- Мы его вчера подвесили. Я думаю, завтра... то есть – сегодня он заговорит. Сталин подошел к поддону с глыбой.
- Видишь, она треснула, – показал Берия. – А чего же мы ждем? Надо вбить клин, и она развалится. – Сталин потрогал трещину.
- Опасно, товарищ Сталин, – привстал со стула микробиолог. – Можно объект повредить.
- Давайте клинья, – не глядя на него пробормотал Сталин. – Я здесь до утра торчать не буду.
- Принесли топор и полено, охранники вытесали четыре клина, вставили в трещину, стали бить топором. Глыба затрещала.
- Вы бы отошли подальше, товарищ Сталин, – посоветовал физик.
- Давай, давай, – Сталин угрюмо смотрел на трещину. Ударили раз, другой. На третий глыба громко треснула и развалилась на куски. В поддоне среди талой воды и кусков льда остался сидеть замерзший верзила с чудовищными гениталиями и с черным чемоданчиком на коленях.
- Кто это? – спросил Сталин после продолжительной паузы и посмотрел на микробиолога.
- Пока не знаем, товарищ Сталин.
- Что это у него с яйцами?
- Похоже на слоновость, товарищ Сталин. А может и результат облучения, – близоруко шурился микробиолог.
- Если это землеёбы, – заговорил Берия, – значит у них у всех такие фаллосы. Вероятно, это не случайно.
- Ты хочешь сказать, фаллосы большие оттого, что они совокупаются с землей? – спросил Сталин.
- Именно.
- А с женщинами они уж не живут?
- С такими размерами... абсолютно исключено... Такая елда в корову не влезет, – зевнул Берия и посмотрел на часы.
- Да... – задумчиво качнул головой Сталин. – Как же они любят родную землю. А может у них все-таки есть женщины с огромным влагалищем?
- В первом послании они писали, что в их общине нет ни одной женщины.

– Вот как... – Сталин обошел поддон вокруг, рассматривая замороженного. – Громадный детина. Какие ножищи... Сколько в нем росту?

– На глаз... минимум два двадцать, – заключил Берия.

– Тот в 37-ом был рогатый. Этот с яйцами по два пуда... неужели такое будущее ждет нашу страну? – Сталин брезгливо потрогал лысину великана.

– Надо посмотреть, что в чемоданчике, – Берия кивнул охранникам. – Вынимайте. Только осторожно.

Охранники стали топором выковыривать изо льда чемоданчик. Когда его вытянули, Сталин подошел к столу с остатками трапезы, схватил край скатерти и резко потянул. Все съехало со стола, с шумом попадало на пол. Пенсне, соскочившее с носа свиньи, покатилося к стене; охранник подхватил его.

Берия положил чемоданчик на стол.

– Может минеров вызвать? – спросил Сталин.

– Я не чувствую подвоха во всей этой истории, – Берия жестом пригласил Сталина открыть чемоданчик. – Ты глава государства.

Сталин, помедлив малость, подошел и осторожно открыл чемоданчик. Сдержанный голубой свет поплыл из него, осветив лицо вождя. Сталин и Берия разглядывали содержимое – двенадцать кусков голубого сала, залитых сахаром.

– Товарищи ученые, подойдите сюда, – пригласил Сталин.

Физик и микробиолог подошли.

– Что это? – спросил Сталин.

– Трудно сразу сказать, товарищ Сталин, – ответил микробиолог.

– Нужен подробный анализ, – нахмурился физик.

– Вы свободны, – произнес Сталин, не отрываясь глядя в чемоданчик. Ученые вышли.

– Это типа фосфора что-то, – Берия потрогал затвердевший сахар, покрывающий голубое сало. – Необычный свет, правда?

– Очень, – Сталин пристально смотрел.

– Я возьму, а утром отдадим на исследование.

– Погоди, – произнес Сталин.

– Что? – не понял Берия.

– Пусть у меня побудет. Пока.

– Но... надо же выяснить, что это такое?

– Выясним еще десять раз. Мне... как-то хорошо от этого света.

Берия молча посмотрел на озаренное голубым лицо вождя.

– Ты хочешь... – начал было он.

– Да, да, – перебил его Сталин. – Я хочу это взять с собой.

– Хорошо, – кивнул Берия. – Давай коньяку выпьем?

– Я спать поеду, – Сталин закрыл чемоданчик, взял его за ручку – Холодный еще.

– Что?

– Я говорю, холодный саквояж. Не нагрелся еще, – сказал Сталин, глядя в глаза Берии,

– Why not? – устало улыбнулся Берия.

– С добрым утром, Лаврентий, – Сталин повернулся и пошел с чемоданчиком в руке. – Машину!

Охранник скрылся в невысокой арочной двери. Берия бросил недокуренную папиросу на пол и наступил красивым английским ботинком.

Когда серебристо-черный сталинский «Роллс-Ройс» в сопровождении двух «ЗИМов» охраны выехал из Спасских ворот, толстая женщина в лохмотьях кинулась наперерез кортежу, с диким криком. В руках охранников появилось оружие.

– Не стрелять! – приказал Сталин. – Это ААА. Останови,

Кортеж остановился.

– Раздави! Растопчи! Кишки мои на шины намотай! Кровищу мою гнилую в радиатор залей! Ровней понесет тебя конь твой стальной! – вопила толстуха, падая на колени.

Широкое круглое, с перебитым носом лицо ее было плоским, маленькие глазки сияли безумием; из-под бесформенных мокрых губ торчали мелкие гнилые зубы; невероятные лохмотья висели на приземистом, уродливо расширяющемся книзу теле; седые грязные волосы выбивались из-под рваного шерстяного платка; босые ноги были черны от грязи. Сталин вышел из машины, с сигарой в зубах.

Завидя его, ААА испустила протяжный хриплый крик и ударила своим круглым лицом о мерзлую брусчатку Красной площади.

– Здравствуй, ААА, – проговорил Сталин, ежась на промозглом мартовском ветру.

– Здравствуй, отец родной! Здравствуй, свет невечерний! Здравствуй, спаситель наш! – запричитала ААА.

Охранник набросил на плечи Сталину длинное пальто темно-зеленого кашемира.

– Что ж ты под колеса кидаешься? – спросил Сталин.

– Ради всех мозгов! Ради всех кусков! Раздави, раздави, раздави!

– За что ж мне тебя давить?

– За все, что было, за все, что есть да за все, что будет, отец родной!

– Что ж ты за наградой не идешь? Твой орден у Молотова в столе давно лежит. Или брезгуешь заботой нашей?

– Разорви пизду мне сопливую стальными крюками, запри губищи мои стальными замками, посади на кол медный, заставь жрать порошок вредный, жги меня углями, бей батогоми, запусти пчел в носовую полость, сошли в Чертову волость, за сияры потных подвесь, с кислым тестом замесь, наголо обрей, белены рюмку налей, вервием задуши, на плахе топором обтеши, в смоле свари, а рублем не дари!

Сталин усмехнулся:

– Кого же одаривать, коли не тебя?

– Достойных у тебя хоть жопой ешь, отец родной! Я под себя срать и ссать не перестану! Не на тех дрожжах подымалась!

– Ты знаешь, что Хармс своими глистами канареек кормит? – Сталин обвел глазами пустынную Красную площадь.

– Мне ли эту срань не знать? – радостно ощерилась ААА.

– Что с ним делать?

– Пошли его на север-северок! Там все его глисты враз повымерзнут!

– Встань, ААА, что ты в ногах валяешься. Чай, не старые времена.

– Времена не старые, а наше дело навозное, отец родной! – она заворочалась на брусчатке.

– Мне активно не нравится «Молодая гвардия», – стряхнул пепел с сигары Сталин.

– А кому ж она может понравиться, отец родной?

– Очень, очень не нравится... С другой стороны – человек заслуженный. Сразу ноздри рвать не хочется.

– И не рви, отец родной! – подползла к нему ААА. – Много чести для сиволапого! Подари ему свой браунинг золотой с одним патроном.

– И то верно, – задумался Сталин.

– Да и не он один гноем исходит! Там рыл полтыщи даром кокаин нюхают! Зажирели на довоенной пашаничке, ублюдки, а новую борозду вспахать – харч слабоват! На что ж они тебе такие?

– Я думаю, ААА.

– Долго думаешь, батюшка! Ежели снег вовремя не вычистить – он льдом зарастет! А лед колоть тяжкими ломанами надобно!

Она подползла к ногам вождя. Густой запах застарелых нечистот оглушил Сталина. Он отвернул лицо, посмотрел на редкие звезды.

– Позволь! – требовательно прохрипела внизу ААА. Не глядя на нее, Сталин поднял правую ногу ААА принялась жадно вылизывать подошву его остроносого ботинка.

Сталин посмотрел на освещенный Кремль. На Спасской башне пробило четверть пятого.

Сталин поднял левую ногу. ААА вылизала и левую подошву.

– Я ж к тебе с благовью приползла, – она икнула и вытерла губы грязной рукой. – Рожаю нынче.

– Что ж ты молчала?

– А что зря языком молоть? – засмеялась она.

– Что от меня нужно? – серьезно спросил Сталин.

– Что б ты жил, отец родной!

– Я постараюсь.

Сталин бросил сигару, пристально посмотрел на ААА, повернулся и пошел к машине.

– Знаешь, что Борис твою жинку больше не топчет?

– Знаю, – ответил Сталин, садясь в лимузин. Охранник закрыл за ним дверь, побежал к «ЗИМу». Машины заурчали, кортеж резво тронулся, обогнул собор Василия Блаженного и скрылся.

– Из твоих говн престол новой правды воздвигну, да не размочит его моча небесная! – поклонилась ААА, жадно ловя широкими ноздрями выхлопной дым исчезнувшего кортежа.

– В Архангельское, – приказал Сталин шоферу, когда три машины выехали на Кремлевскую набережную.

– Ой, а я вас на ближнюю везу, товарищ Сталин! – жеманно воскликнул красивый молодой шофер в белой кожаной куртке и щегольском желто-сиреневом платке на тонкой шее.

Сталин посмотрел на его блестящий от помады затылок:

– Сережа, почему москвичи покупают «Бугатти» больше, чем «Хорьх»?

– Вот загадка, товарищ Сталин! – посерьезнел шофер. – Все помешались на этих «Бугатти»! Там и с подвеской всегда проблемы были, и мотор новый, никто не знает – как он по нашим колдобинам? А все как с ума посходили – «Бугатти» да «Бугатти»! Красивая машина, говорят! А по мне – двухместный «Мерседес» довоенный лучше всех!

– И лучше нового «Хорьха»?

– Не обижайтесь, товарищ Сталин, – лучше! Там мотор, – шофер зажмурился от удовольствия, – как женщина! Я, товарищ Сталин, утром чаю выпью, пойду в гараж, капот открою, встану и смотрю. Вот красота, какой там Рембрандт! Отец покойный его в 42-ом у Михоэlsa купил, он 32 тысячи прошел, а Михоэls этот, ясное дело, человек творческий, ни разу капота не открыл! Там зажигание напрочь сбито было и клапана стучать начали. Мы карбюратор прочистили, цепь поменяли, отец все ворчал: ну, жидяра, чуть такую машину не угробил! И вот, товарищ Сталин, двенадцать лет – и не соринки в жопе! Вот эта машина! Как топор! А на «Бугатти» я посмотрю через двенадцать лет!

Выехали на улицу Горького.

– Товарищ Сталин, разрешите обратиться, – заговорил сидящий рядом с шофером штурман – широкоплечий полковник МГБ с простым крестьянским лицом.

– Валяй, – Сталин с удовольствием откинул голову на лайковый подголовник.

– У меня, товарищ Сталин, «Форд-универсал», 51-го года выпуска. Мы летом с женой на нем во Францию поехали и под Марселем с этим самым спортивным «Хорьхом» столкнулись. Слава Богу – не в лоб. Нам – почти ничего, а у него вся кабина всмятку. Водитель этот, француз, кровью харкал. Вот вам и «Хорьх»!

– Ты б еще в него на «Победе» врезался, ёб твою мать! – воскликнул шофер. – Сравнил жопу с пальцем! «Форд», блядь! Вози на нем картошку да поварих из вашей столовой! «Форд»! Я б, товарищ Сталин, американцам вообще бы импорт машин запретил! У них ни одного авто приличного нет! Лучше уж на нашей «Победе» ездить!

Выехали на Ленинградское шоссе. Замелькали одноэтажные деревенские дома. Редкие машины рассекали фарами сырую тьму

Кортеж несся, как всегда, на предельной скорости. Свернули на Волоколамское шоссе.

Когда проехали Павшино, Сталин потянулся:

– Останови. Мне нужно.

Кортеж остановился. Охрана выскочила из «ЗИМов», обступила лимузин Сталина.

Сталин вышел, хрустнул пальцами:

– Давай на воздухе.

Из «ЗИМа» с трудом вынесли колонну с золотым пеналом.

Сталин посмотрел по сторонам. Кругом торчали подорожные, забрызганные обледенелой грязью кусты, поодаль темнел край спящей деревни и начинались холмистые поля с перелесками. Мутная луна слабо освещала унылый подмосковный пейзаж. Редкая ледяная крупа сыпалась с черного неба.

Сталин вынул шприц из пенала, преломил невидимую в темноте ампулу, высосал иглой, открыл рот и сделал быстрый укол.

Мимо проехали два грузовика и мотоцикл.

Сталин вздрогнул всем телом, посмотрел на тускло блестящий шприц, положил его в пенал. Охрана потащила колонну к багажнику «ЗИМа».

Сталин посмотрел на свою ладонь. Две ледяные крупинки упали на нее. Он слизнул их языком, шумно и бодро выдохнул и протянул руку к «Роллс-Ройсу»:

– Связь.

Штурман щелкнул крышкой телефонного аппарата, протянул в окно черную трубку на толстом резиновом шнуре:

– Есть, товарищ Сталин.

– Берию, – проговорил Сталин в трубку, прислоняясь спиной к лимузину и глядя на сломанную березу.

– У аппарата, – раздался в трубке сонный голос Берии.

– Лаврентий, а ведь это плохо, что у наших ученых до сих пор нет единой теории времени.

– Ты полагаешь? – спросил Берия.

– Время – не лингвистика. И даже не генетика.

– Согласен. Это оттого, что со временем до этих трех посылок из будущего ничего не происходило. Проще говоря – стимула не было! – усмехнулся Берия.

– А теория относительности?

– После сегодняшнего дня ее можно окончательно сдать в архив.

– Жаль. Эйнштейн – симпатичный человек. Большая умница. Умеет не только говорить, но и слушать. Со вкусом ест и пьет.

– Да и ебет тоже не как на проспекте росший, – зевнул Берия. – Знаешь, меня, признаться, и самого такая ситуация не устраивает: вода или качан капусты? Суточные щи какие-то...

– Как ты сказал? – осторожно спросил Сталин.

– Я говорю – суточные щи, а не концепция времени. Сталин выпустил трубку из руки и пошел по грязному снегу к сломанной березе. Охранники кинулись за ним. Он подошел к дереву, взялся теплыми руками за ледяной шершавый ствол и замер. Охрана замерла вокруг.

– Иосиф? Иосиф? – шуршало в качающейся трубке. Сталин согнул колени, сгорбился и прижал лоб к березе. Плечи его дернулись, хриплый рык вылетел изо рта. Сильнейший трехминутный приступ хохота сотряс тело вождя.

– Ясауух пашоо!!! – выкрикнул Сталин так сильно, что две вороны, дремавшие в зарослях боярышника, поднялись и с сонным карканьем полетели в Москву

Простившись со Сталиным, ААА побрела домой.

В Москве стояла тяжелая предрассветная тишина. Даже дворники еще не просыпались.

Лишь изредка проезжали одинокие угрюмые машины.

Напевая и бормоча что-то себе под нос, ААА шлепала задубевшими ступнями по припорошенному ледяной крупой асфальту. Дойдя до площади Дзержинского, она поклонилась черному памятнику, обошла справа фасад величественного здания министерства Госбезопасности, завернула за угол и направилась к Варсонофьевскому переулку.

Вдруг в громадных воротах внутренней тюрьмы МГБ заскрежетали запоры, отворилась узкая железная дверь и из черного проема на свободу шагнул высокий, крепко сложенный человек в длинном, небрежно распахнутом габардиновом пальто цвета яичного желтка со сливками. Такого же цвета шляпа косо сидела на его маленькой голове, переходящей в толстую длинную шею с грязным белым воротом, небрежно повязанным мятым, апельсинового цвета галстуком. В руках человек держал сетку с грязным исподним.

– Ништяк, тесный мир! – радостно выкрикнул человек голосом, известным каждому советскому поклоннику высокой поэзии, подкинул сетку с бельем и размашисто, по-футбольному пнул ее крепким немецким ботинком.

Сетка перелетела через неширокую площадь и повисла на рекламном щите «Продмага N40»,

– Осип... – хрипло выдохнула ААА и всплеснула заскорузлыми руками. – Что б мне сухой пиздой подавиться! Что б на своих кишках удавиться!

Освобожденный посмотрел на нее мутными, серо-голубыми глазами, медленно приседая на сильных ногах, разводя длинные хваткие руки:

– ААА... ААА? ААА!

– Оська!!! – взвизгнула она и лохматым комом полетела к нему в объятия.

– ААА! ААА! ААА! – сильно сжал ее рыхлое тело Осип.

– Значит, не уебал Господь Вседержитель! – визжала ААА, повисая на нем и пачкая его светлое пальто.

– И не уебет, пока не изменим! – хохотал Осип, раскачивая ее.

– Красавец! Приап золотокудрый! Ты сохранил гнойную дистанцию свою!

– Сохранил, неженская моя! – он с удовольствием втянул носом идущий от нее смрад. – Все по-старому! Текучую стихию не допускаешь до себя, мраморное тесто?

– Что будет с солью, ежели помыть ее? – ощерилась ААА.

– В Москве! – двинулся с ней на руках Осип. – Я снова в Москве, ебанные гады! О, этот грубый город! Извилистым паразитом проник я в перестальт твоих угрюмых улиц! Как обжигаящ, как по-кислотному беспощаден желудочный сок твой, но как по-бабьи сладка кровь твоя! Как разрушительно приятно сосать ее! Это не трупная кровь Петербурга! Это кровь молодого, свободного города! О как я люблю тебя, Москва!

Заметив на торце магазина «Детский Мир» громадный портрет Сталина, делающего себе укол под язык, Осип разжал руки и побежал к нему ААА упала на асфальт и восторженно заулюлюкала, глядя как профессионально, по-спринтерски несется Осип в своем развевающемся пальто.

Добежав, Осип рухнул на колени и посмотрел на громадный портрет, слегка колышущийся на сером здании.

– Слова мои неловки, как пердеж на похоронах, но искренни, как вопли на допросах... – в волнении он зашарил у себя на груди толстыми сильными пальцами с обкусанными ногтями. – Тебе, попирающему сонную пыль Земли, тебе, потопившему корабли старых мифов, тебе, разорвавшему Пизду Здравого Смысла, тебе, брызнувшему на Вечность спермой Свободы, тебе, разбудившему и взнуздавшему Русского Медведя, тебе, плюнувшему в морду гнилого Запада, тебе, перемигивающемуся со звездами, тебе, ебущему Великий Народ, тебе, слюной своей окропившему клитора многослойных советских женщин, тебе, разворотившему анусы угловатых советских мужчин, тебе, Исполину Нового Времени – нет равных на планете нашей!

Осип поклонился и поцеловал грубую парусину портрета.

Сзади подошла ААА.

Осип легко вскочил с колен, провел руками по продолговатому, небритому, грубой лепки лицу с необточенными, варварско-непосредственными чертами и вдруг расхохотался, откинувшись назад. Шляпа слетела с его лохматой головы и светло-оранжевым пятном покатила по площади Дзержинского.

– Я опять всех заложил! – хохотал он, шатаясь от восторга. – Я всех, всех, всех, всех заложил!

ААА прижалась к его спине, с наслаждением ощущая трепет этого сильного, мускулистого тела.

– Я заложил даже тебя! Даже тебя!

– Так поздно?! – обиженно хрюкнула она. – Гондон вареный! В первый раз не догадался? Я всеми и самой собой заложена-перезаложена! У меня клейма Позора Мирового даже на торцах волос сияют! Срежь их сейчас – через минуту вновь проступят!

– О как приятно закладывать родных и друзей! – раскачивался, прикрыв глаза Осип. – Какая это девственная сладость! Какое это невыносимое наслаждение! Сколько в этом подлинного и высокого!

– Заложить – ото сна жизни проснуться! Самого себя до изжоги выебать! Друзей закладывать – себя не помнить! А врагов – Бога забыть! – хрипела ААА.

– И ее заложил! Ее, голубицу фарфоровую, мастерицу взоров виноватых, хранительницу холодного пота отказа! Отказала она мне, да не откажет палачам лубянским! Забьется в сухих руках их лебедушкой ошипанной, белотелой! О, еще солнце не встанет, как затрещат на дыбе кости твои, Восторонукающаяся Любовь Моя! Закричишь белым криком, оросишь мочой пол бетонный! Мне бы дать кожу на сапог испанский, на твою бледную ногу натягиваемый!

Осип схватил себя за грудь, рванул. Треснула, разошлась грязная голландская сорочка и свежая, еще кровоточащая татуировка сверкнула в свете луны и редких фонарей на его мощной груди: девушка, разрываемая цепями, с надписью внизу:

## MEA CULPA

– Жаааждууу!!! – прокатился по спящей Москве дикий крик Осипа.

– Вся кровь Родины в бокал Ярости Нетерпения твоего! Смешай ее со слезами Заложённых тобой да со спермой тобою Опустошённых! А моей Мочой Высшего Служения смой чернила непросохших Чернови́ков твоих: чай, не чернилами писать тебе, Щегол Неземных Пределов! – прорычала ААА, поднимая рваный подол свой и показывая большие, отвислые, лохматые, грязные гениталии с вывороченными, изъязвленными алыми губищами.

Осип остервенело глянул, скрипнул зубами:

– Дай денег, мраморное тесто!

– Господи! От тебя ли, Сокрушитель Стен, слышать такое?! – всплеснула руками ААА. – Деньги! Это же листья со спилённых дубов Заратустры! Яйца костоеда Гамлета! Фаустовская пыль!

– Дай денег, сестра! Мне разгон нужен! – рявкнул Осип.

– Возьми все, возьми, возьми, возьми! – она стала вынимать из лохмотьев пачки денег и кидать ему.

Осип жадно ловил их широкими сильными ладонями, пихал в карманы:

– Разгон! Разгон! Высокого жажду!

– Все твое! Все твое на земле нашей! Бери без оглядки!

– Не привыкли мы с тобой оглядываться, мраморное тесто! Из высшей глины замесил нас Вседержитель не скуделью хрупкой, а Столпами Стальными, его звездное небо подпирающими! Не на кого, кроме Него нам оглядываться!

Засунув последнюю пачку, он яростно огляделся.

– Куда теперь свое высшее тело кинешь?

– В «Берлин»! По рулетке размажусь! Потом к блядам в «Ошипанный павлин»! Наебусь до рвоты! А уж после – в «Стрельну», всей гоп-компанией – и до утра! Обчитаемся! А утром поползем морду Толстому бить! *Partie de plaisir*, ёбанные мощи!

– Да сколько можно, Оська! Избейте лучше Борьку: он больше королеву не ебет!

– Правда? – осклабился Осип. – Motu proprio?

– Не думаю.

– А, тюлень переделкинский! Не все тебе в высокие пизды мычать!

– Избить, избить его надобно! Он нас золотого крючка лишает!

– Борьку не бить, а ебать нужно! Он от запоров чудит... такси! такси! – заревел он, заметив серую «Победу» с белыми шашечками.

Машина объехала по кругу памятник Дзержинскому и остановилась возле них.

– Дружище, сделай милость, помоги! – схватившись за сердце, Осип упал на колени. – Умираю!

Пожилой заспанный шофер вылез из кабины:

– Чего такое, уважаемый?

– А вот чего! – Осип хлестким ударом сбил шофера с ног.

– Оська... ну это же... mauvais ton! – хохотнула ААА. Осип схватил старика за седые волосы и стал кровожадно бить головой об асфальт:

– Ad patres! Ad patres! Ad patres! Лицо таксиста быстро превратилось в кровавую кашу.

Осип бросил его, залез в машину:

– Finita! Полгода никого по рылу не бил! Люблю шершавую эстетику! Уебония furioso!

Поехали к трем вокзалам, вша духовная!

– Оська, я рожаю сегодня.

– Поехали, мраморное тесто! Потом родишь!

– Не могу, mon cher, меня наследники ждут! Да и зачем тебе к трем вокзалам? Ты же в казино хотел?

Небритое лицо Осипа сладострастно расплылось, в мутных глазах сверкнули тайные огоньки:

– Знаешь, что такое утренний мужицкий хуй с трех вокзалов?

– Знаю, щегол беспредельный!

– А знаешь, так чего спрашиваешь? Он захлопнул дверцу, выглянул в окно:

– Приходи вечером в «Стрельну»! Я *тюремное* читать буду! Новая книга, ААА! Ради этого и сядил, ёбанный в рот!

– Господь да укрепит рафинад мозга твоего! – перекрестила его она.

Осип сильно, с рычанием потянул носом и сочно харкнул из окна машины. Густой плевком его звучно врезался в холодный асфальт.

– Bonjour, ААА!

Он лихо развернул машину и унесся по улице Кирова.

Переступив через окровавленный труп таксиста, ААА опустилась на колени перед плевком Осипа, светло-зелено выделяющимся на черном асфальте:

– Харкотиной твоей небесной земное убожество врачуем...

Она тщательно сгребла плевком в горсть, встала и пошла по просыпающейся Москве. Во дворах уже слышались сонные метла дворников, шуршащие по мерзлым мостовым.

Милиционеры в белых валенках с галошами и черных полушубках выезжали на свои посты. Серо-голубые машины с горячим хлебом ехали в булочные. Красно-зеленые фургоны везли пахнущие свинцом газеты. Поползли первые трамваи и автобусы.

ААА прошла министерство Речного флота, свернула на Неглинную, дошла до Столешникова, поднялась по нему и оказалась на улице Горького. Первые прохожие сонно смотрели на нее. Некоторые из них опускались на колени и целовали мостовую, по которой прошлепали ее босые ноги. На Пушкинской площади молодая дама в каракулевой шубе и шапке с песцовой оторочкой побежала за ней:

– Благослови, непричастная!

ААА серьезно плюнула ей в лицо.

– Без «Реквиема» твоего спать не ложусь! – радостно растерла дама плевком по лицу.

Возле казино «Минск» двое бледных щеголей оторвали по куску от ее лохмотьев.

– Куды прешь, биядь? – усмехнулся, глядя на нее узкоглазый дворник в чистом фартуке поверх ватника, выходящий с ведром песка из арки своего двора.

– Пшел, татарская морда! – съездил его по широкоскулому лицу худощавый кадет в пенсне и побежал за ААА. – Благословите, великая! Благословите, единственная!

– Хуй на рыло! – ААА побежала напрямик через улицу Горького.

Милицейский «воронок» резко притормозил перед ней, из кабины высунулся розовощекий постовой в ушанке, сунул в рот блестящий свисток и переливисто засвистел.

– Я вот тебе свистну, каналья! – погрозил ему из саней кулаком в белой перчатке Митрофан Владимирович Пуришкевич, едущий из «Яра» на Сретенку к своей любовнице Целиковской.

ААА свернула на Тверской бульвар. Здесь никого не было, лишь две бездомные лохматые собаки пытались ловить полусонных голубей. ААА дошла до церкви Большого Вознесения, в которой венчался Александр Пушкин, потрогала ступени и приложила руку к ноздрям:

– Дух похоти твоей еще не выветрился, арап тонконогий!

На улице Герцена острая родовая схватка согнула ее пополам.

– Не здесь, Прозерпина... – застонала она, опускаясь на четвереньки.

– Эй, квашня, чего задумалась? – пнул ее разносчик калачей.

ААА с кряхтением приподнялась и, схватившись за живот, побрела вверх по Герцена – к Садовому кольцу. Поравнявшись со зданием Центрального Дома литераторов, она заголила увесистый нечистый зад, сунула указательный палец в заросший калом и полипами анус, вынула и коряво написала по бледно-желтому фасаду здания:

## DO UT DES

Пройдя дворами на улицу Воровского, она прошлепала еще шагов пятьдесят и оказалась возле своей роскошной, серо-бежевой виллы в стиле модерн, с садом и обсерваторией на крыше. Шатаясь и кряхтя от боли, ААА подошла к воротам с ажурной решеткой и кулаком нажала кнопку звонка. Ореховая застекленная дверь распахнулась, по парадной лестнице сбежал толстый швейцар в фиолетовой ливрее, отпер ворота и подхватил ААА под руки:

Матушка... матушка...

– Оох! Насилу доползла... – облокотилась на него она своим грузным телом.

На пороге двери показались две дамы. Одна маленькая, невзрачная, в глухом сером платье. Другая очень высокая, худая как палка, затянутая в черное трико, с белым костистым лицом, длинным, похожим на вороний клюв, носом и толстыми очками.

– Господи! Мы уже... Господи! – маленькая дама проворно сбежала по ступеням, подхватила ААА своими маленькими, проворными руками. – И думать боюсь! Господи! Да что же это?!

Высокая опустила на четвереньки и ловко, по собачьи перебирая длинными руками и ногами, сбежала вниз, завертелась у ног ААА, визжа и лая.

ААА ввели по лестнице в дом, Большая, отделанная орехом, розовым мрамором и медью прихожая была полна подростков. Мальчики и девочки лежали на полу, сидели вдоль стен. Увидя ААА, они зашевелились, вставая.

– Сколько? – морщась от боли в животе, спросила ААА маленькую даму.

– 38, светлая, – доложила та. – Двое ушли, у одной падучая, другого я выгнала.

ААА обвела подростков угрюмым взглядом. Они смотрели на нее с подавленным восторгом, переходящим в страх.

– Осипа выпустили! – объявила ААА.

Вздохи и стоны восторга вырвались у собравшихся.

– Сердце надвое порвал, мучитель сладкий! – перекрестилась маленькая дама и сухонькими ладонями закрыла брызнувшие слезами глаза.

Высокая дама завизжала, заюлила и высоко запрыгала, пытаясь достать зубами люстру. ААА пнула ее и разжала свой грязный кулак с плевком Осипа:

– Причаститесь харкотиной великого! Подростки юными языками потянулись к ее ладони, и через полминуты темная шершавая ладонь опустела.

– Воды, воды, воды! – громким грудным голосом закричала ААА, раздирая лохмотья на пухлой груди.

Швейцар и маленькая дама подхватили ее под руки и повели наверх в опочивальню.

– До полудня рожу, чует сердце! – стонала ААА.

– Рожай, великая, рожай, непорочная... – бормотала маленькая дама.

– Будет ли достойный? Сыщитесь ли? – трясла тяжелой головой ААА.

– Сыщитесь, королева, сыщитесь, Дева Света... – успокаивала дама.

Высокая прыгала по ступеням, обгоняя поднимающихся и восторженно визжа.

В опочивальне было тесно, но уютно; на обитых синим шелком стенах висели портреты Пушкина, Данте, Гумилева и Сталина. Рядом с широкой кроватью с бархатным балдахинном стоял полковой походный складень-иконостас, подаренный хозяйке дома командованием Ленинградского военного округа. У окна разместился небольшой красного дерева письменный стол, заваленный книгами и рукописями; в углу возвышалась мраморная ванна на золотых ножках в виде ангелов с крыльями. Ванна была полна воды. ААА подвели к ванне, она опустилась на колени и с размаху погрузила свою голову в воду. Часть воды вылилась на пол. Высокая прыгнула к ААА и, изогнувшись, стала лизать ее черную пятку.

Маленькая дама пнула ее в худые ребра:

– Отступи, Лидка!

Высокая с воем отбежала в угол и легла на меховую подстилку.

– Великолэээпно! – подняла голову ААА. Маленькая дама накрыла ее приготовленным полотенцем, стала осторожно вытирать.

– На кровать, на кровать... – простонала ААА, – уж подступает...

Швейцар и дама подхватили ее, подвели к кровати. ААА завалилась навзничь.

– Ежели в беспамятство провалюсь – жги мне свечей руку, – пробормотала ААА, закрывая глаза. – Хочу наследнику в глаза глянуть. А уж потом – к Господу в подмышки потные...

Маленькая дама сделала знак швейцару Он вышел. Дама присела на край кровати, взяла безвольную тяжелую руку ААА в свои ручки и, склонившись, поцеловала.

– Све-то-но-сец! – проговорила по слогам ААА и, дернувшись всем своим грузным телом, закричала страшным нутряным голосом роженицы.

Кортеж Сталина подъезжал к Архангельскому Здесь, в великолепном дворце, выстроенном еще при Екатерине II, жил граф и бывший член Политбюро ЦК КПСС Никита Аристархович Хрущев, отстраненный от государственных дел октябрьским Пленумом ЦК. Громадную территорию дворца опоясывал каменный забор с чугунными, в классическом стиле решетками, каждое звено которых украшал родовой герб Хрущевых – пентакль, циркуль и три лилии.

Еще издали, с Ильинского шоссе Сталин заметил свет над черным ночным лесом – сегодня дворец был освещен, 52-летний Хрущев праздновал свои именины.

Кортеж подъехал к воротам, за которыми располагался КПП личной гвардии Хрущева, круглосуточно охранявшей графа. Это подразделение, насчитывающее почти шестьсот человек, состояло из преданных Хрущеву офицеров-капеллецев, выпускников диверсионной школы «Великий Восток» и черкесов прославленной «дикой» дивизии. Оно содержалось графом, было расквартировано на территории его имения и подчинялось исключительно Хрущеву

Из «ЗИМа» вышел генерал Власик с двумя охранниками, приблизился к воротам и сделал знак трем стоящим на вахте черкесам. Бородатые, темнолицые, одетые в долгополые бурки и лохматые папахи с зеленой лентой, они недоверчиво смотрели на подъехавший

кортеж и на генерала. Один из черкесов заглянул в каптерку. Вышел капитан в черной каппелевской форме, подошел к воротам, коротко переговорил с Власиком и скрылся в каптерке – доложить графу

– Вот головорезы! – усмехнулся шофер Сталина, глядя на черкесов. – Что они в Берлине творили... мне, товарищ Сталин, брат рассказывал. У них пытка есть – человека на змею посадить. А в Берлине, как только зоопарк взяли, змей этих – полным полно расплодилось. Ну и, говорит, едем с командующим, глядь – немецкий полковник по земле катается, а черкесы из «дикой» дивизии стоят кружком и смеются. А это они, оказывается, ему в жопу...

– Заткнись, – перебил его Сталин.

Ворота отворились, капитан вышел из каптерки, взял под козырек. Черкесы нехотя приложили смуглые руки к папахам.

Кортеж въехал на территорию поместья. Сразу за вахтой в ельнике виднелись два дота с пулеметами. На высоких соснах смутно различались замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки.

Кортеж по плавно изгибающейся дороге подъехал к красиво освещенному дворцу и остановился перед высокой въездной аркой в виде греческого портала с четырьмя колоннами и изящной решеткой ворот. Возле них стояли с автоматами четверо великовосточников в зимних камуфляжных комбинезонах. Ворота стали медленно притворяться, и кортеж въехал во внутренний двор хрущевского дворца, окруженный полукруглой, подсвеченной снизу колоннадой.

«Роллс-Ройс» подкатил к невысокому мраморному крыльцу, Сталин вышел с чемоданчиком в руке и сигарой в зубах.

– Здравия желаю, товарищ Сталин! – выбежал на крыльцо и щелкнул каблуками высокий красавец поручик с аксельбантами. – Прошу вас!

Он распахнул перед Сталиным дверь. Сталин вошел в громадную прихожую залу, сверкающую розовым и белым мрамором, золотом и хрусталем.

– А вас, господа, прошу сдать оружие и расположиться в гостевом флигеле, – обратился поручик к отставшей охране

В прихожей Сталина ждал камердинер графа Алекс – невысокий, чрезвычайно подвижный человек в белом, по случаю торжеств, фраке и с запоминающимся лошадиноподобным лицом.

– Здравствуйте, товарищ Сталин, – быстро кивнул он. – Граф чрезвычайно рад вашему приезду. Они ждут вас в подвале-с. Позвольте ваш саквояж,

– Это останется со мной, – Сталин уверенно направился к подвальной лестнице. – Он что, опять пытается?

– Так точно-с. Пытают-с. – поспешил за Сталиным Алекс. – Позвольте, провожу вас.

– А гостей бросил, стало быть?

– Гости давно разъехались.

– Не может быть!

– Граф уже шутили-с по этому поводу, – тараторил Алекс, семеня короткими ногами. – Раньше, говорит, его боялись задерживать, а теперь у него задерживаться бояться.

– Не понял юмора, – зевнул Сталин.

Мраморная лестница, ведущая в подвал, перешла в небольшую площадку со стальной дверью, возле которой стояли двое черкесов. Они по-военному молча приветствовали Сталина и потянули за толстую ручку двери. Толстая тридцатисантиметровая дверь стала бесшумно отворяться, и душераздирающие крики донеслись из полутемного проема.

Сталин шагнул вперед, Алекс остался стоять позади, черкесы закрыли дверь за вождем.

Подвальная тюрьма с пыточной камерой, вырытые еще прапрадедом Хрущева, в XIX веке пришли в полнейшее запустение и были восстановлены и переоборудованы молодым графом сразу после завершения Гражданской войны. Это была анфилада с тремя круглыми помещениями, отделанным простым грубым камнем. В первом размещалась охрана, во

втором – тридцать шесть одиночных камер с заключенными, третье было пыточной камерой.

Сталин миновал вахтенную и последовал по неширокому коридору за молчаливым «великовосточником» в черном костюме ниндзя. Крики раздавались все громче. Кричал один и тот же человек: то пронзительно, переходя на обезьяний визг, то нутряным, кабаньим рыком, перерастающим в бульканье и клёкот.

Сталин вошел в ярко освещенный круглый каменный зал со сводчатым потолком. В грубый пол были вмурованы железная кровать, пресс, железное кресло и железная «кобыла», к которой сейчас был привязан за ноги и за руки голый, побагровевший и вспотевший от боли и крика молодой человек. Над хорошо освещенной спиной его склонился граф Хрущев. Рядом стоял столик-инструментарий на колесиках. Палача не было – граф всегда пытал в одиночку.

– Здравствуй, mon cher! – громко произнес Сталин, морщась от крика.

Граф нехотя обернулся:

– Иосиф...

И снова склонился над молодой мускулистой спиной.

Сталин встал рядом, опустил чемоданчик на пол и скрестил руки на груди.

Хрущев был большим мастером пыток, и мастерство его сводилось к умению избежать крови, вид которой он не переносил. Он подвешивал людей на дыбе, разрывая им плечи, растягивал на «шведской лестнице», пока они не сходили с ума от боли, жег углями и паяльной лампой, давил прессом, медленно душил, ломал кости, заливал в глотки расплавленный свинец. Но сегодня граф уделил внимание своему любимому истязанию – пытке штопорами. Дюжина самых разнообразных стальных штопоров его собственной конструкции лежала на столике, Штопоры были длинные и совсем короткие, с двойными и тройными спиралями, сложными ручками на пружинах, самоввинчивающиеся и замедленного действия. Граф так умел вводить их в тела своих жертв, что ни одной капли крови не выступало на поверхности тела.

Из спины несчастного уже торчали две стальные рукоятки: один штопор был ввинчен ему в плечо, другой в лопатку. Руками в резиновых перчатках граф медленно поворачивал рукоятки, вводя глубже беспощадный металл.

Сталин искоса посмотрел на него.

Граф Хрущев был горбат, а поэтому невысок, с тяжелым продолговатым лицом, стягивающимся к массивному носу, напоминающему клюв марабу. Умные пронизательные глаза влажно шевелились под кустистыми, с проседью, бровями. Седые длинные волосы были идеально подстрижены. В большом ухе неизменно сверкал бриллиант. Цепкие сильные руки доходили графу до колен. На Хрущеве был брезентовый фартук, из-под которого выглядывала белоснежная сорочка с длинными, обтягивающими запястья манжетами и изумительными запонками в форме жуков скарабеев, сделанных Фаберже из золота, сапфиров, бриллиантов и изумрудов.

Граф неожиданно резко повернул оба штопора. Юноша взвизгнул и потерял сознание.

– Пределы... пределы... – сосредоточенно пробормотал граф и бросил на Сталина быстрый взгляд. – Что ж ты так поздно?

– Извини, mon cher, дела. Поздравляю тебя

– Подарок? – глянул граф на чемоданчик.

– Подарок здесь, mon cher, – Сталин с улыбкой положил руку себе на левую сторону груди.

– В сердце?

– В кармане. Но здесь я тебе его вручать не буду.

– Aber natürlich, mein König, – граф поднес к ноздрям юноши пузырек с нашатырным спиртом. Юноша лежал неподвижно.

– Пределы... – граф стал лить нашатырь юноше в ухо. – В принципе, все определяется только пределами. Все, и во всем.

– Кто этот парень? – спросил Сталин, раскуривая потухшую сигару

– Актер из моей труппы.

– Плохой?

– Великолепный. Лучший Гамлет и лучший князь Мышкин Москвы. Я никогда так не плакал и не смеялся... Мейерхольд все тянул его к себе.

– А ты?

– А я положил ему такой оклад, который ни один Мейерхольд не сможет дать.

– И... за что же ты его?

– В смысле?

– Ну, за что ты его пытаешь? – Сталин с наслаждением выпустил сигарный дым.

– Я никогда не пытаю *за что-то*, Иосиф. Я говорил тебе. И не раз.

Юноша дернулся всем своим прекрасным телом.

– Вот и славно, – граф погладил его по мокрой от пота и слез щеке и взял со столика большой штопор со сложной толстой спиралью.

– К пятидесяти годам я понял, что самый важный орган у человека – это печень, – заговорил граф, примеряясь. – Чистота крови – вот что важно для хорошего здоровья. Большинство наших болезней происходят из-за ослабленной функции печени, которая плохо фильтрует кровь. И вся дрянь не оседает в печени, а гнусно булькает в нашей нечистой крови. А кровь, – он ловко воткнул штопор юноше в область печени, – это, как говорил Гиппократ, «начало всех начал».

Юноша дико закричал.

– Да ведь не больно еще, чего ты вопишь? – с сосредоточенным лицом налег на рукоятку граф.

Широкий, многослойный винт штопора стал медленно входить в трепещущее тело. От крика у Сталина засвербило в ушах. Он отошел, разглядывая орудия пыток.

– Предел, предел... как поворот винта... – бормотал Хрущев.

Сталин потрогал стальные цепи дыбы, затем подошел к железному креслу с вмонтированной внизу жаровней для поджаривания жертв и сел на него, закинув ногу на ногу.

Агония охватила тело юноши. Он уже не кричал, а конвульсивно дергался; глаза закатились, из красивого чувственного рта капала слюна.

– У тебя бы Шипов давно заговорил, – произнес Сталин. – А у Берии он уже неделю молчит.

– Шипов? Сергей Бенедиктович? – граф, внимательно прислушиваясь, поворачивал штопор, как поворачивает ключ на колке настройщик рояля. – На этого достойнейшего джентльмена у меня никогда не поднялась бы рука. И вообще, Иосиф. Должен заметить тебе, что ваше «дело банкиров» – колосс на глиняных ногах, Центробанк давно вышел из-под контроля партии, я об этом не раз говорил и боролся с его монетаризмом всеми доступными способами. Но то, что вы делаете с Лаврентием – не только некорректно, но и стратегически опасно. Авторитет партии и так подорван историей с Бухариным, а вы... – Хрущев вдруг замолчал, потрогал сонную артерию юноши. – Вот и все, мой строгий юноша.

Он стал громко сдирать резиновые перчатки со своих больших рук.

– А мы? – напомнил ему Сталин.

– А вы подрываете и расшатываете партию еще сильнее. И отпугиваете от нее уже не только аристократов, но и буржуа. Пошли наверх... фондю есть.

Хрущев снял с себя фартук и размашистой походкой орангутанга двинулся к выходу.

– В тебе сейчас говорит твоя голубая кровь, – Сталин с чемоданчиком и сигарой в ровных зубах последовал за ним.

– Она во мне всегда говорила. И когда я семнадцатилетним вступил в РСДРП. И когда под Царицыным косил из пулемета конную лаву Мамонтова. И когда вместе с тобой боролся с Троцким и его бандой. И когда мерз в осажденном Ленинграде. И когда подписывал мирный договор с Гитлером. И когда видел атомный гриб над Лондоном. И когда душил

басовой струной подлеца Тито. И когда у тебя на даче топил в ванне жирного Жданова. И когда, – он резко обернулся и остановился, – летел из Фороса на ваш октябрьский Пленум. Сталин подошел к нему Они молча смотрели в глаза друг другу.

– Моп амі, партия – не место на трибуне мавзолея, – проговорил Сталин.

– Но и не братская могила в Бутово, – ответил Хрущев. – Знаешь какая там земляника растет? Во!

Он поднес к холеному сталинскому лицу свой костистый волосатый кулак.

– Партия карала, карает и будет карать, – спокойно, не глядя на кулак продолжал Сталин. – В больших крестьянских странах вероятность энтропии обратно пропорциональна количеству убиенных. Великий Мао понимает это. Я тоже.

– Вовсе не обязательно распространять этот закон на банкиров– Их в сто раз меньше, чем крестьян.

– Моп амі, мы можем открыть еще пять тысяч героаптек и десять тысяч кокскафе, но это ни на йоту не укрепит гарантию нашей безопасности. Страна кишит врагами. И басовым струнам все равно кого душишь.

– Иосиф! – разочарованно вздохнул граф и двинулся вверх по лестнице. – Я всегда знал, что ты великий эмпирик масс и не очень дальновидный стратег.

– Я тебе в затылок за эти слова не выстрелю, – проговорил сзади Сталин.

– Только попробуй! – засмеялся Хрущев. – У меня во дворце тридцать восемь пулеметных гнезд. А на крышах – огнемечки.

– Пулемет – не самый веский аргумент в современной войне, – усмехнулся Сталин. – А огнемеч – вообще декоративное оружие...

Из гостевой залы они поднялись на бельэтаж, миновали анфиладу просторных залов, обустроенных в богатом, но строгом классическом стиле, и вошли в парадную столовую. Это был огромный зал в коричневатых тонах, с окнами на террасу обставленный немногочисленной ореховой мебелью, китайскими вазами и античными скульптурами. Главную стену столовой украшали два полотна Тьеполо – «Встреча Антония и Клеопатры» и «Пир Клеопатры». Длинный стол на шестьдесят человек был богато и со вкусом сервирован. На столе лежала только легкая закуска, сыры, фрукты и две тарелки с приборами на противоположных концах. Как из-под земли появился неизменный телохранитель Хрущева монгол Аджуба с непроницаемым лицом, литыми мускулами и двумя револьверами на узких кожаных бедрах. Он встал за спиной графа, скрестив тяжелые руки на груди.

– Voila! – граф жестом пригласил Сталина. – Сегодня здесь было не очень весело.

Надеюсь, хоть ты развлечешь затворника.

Сталин достал из внутреннего кармана изумительную бриллиантовую заколку в форме совокупляющихся эльфов и протянул ее графу:

– Позволь, моп шер амі, сим скромным куском неживой материи приветствовать тебя в день твоих славных именин.

– Благодарю, Иосиф.

Они трижды, по-русски, расцеловались.

Слуги внесли четыре серебряные кастрюли с горелками для фондю, белое вино, мелко нарезанный швейцарский сыр, золотые спицы, чеснок и оливковое масло.

– Прелестно, – Хрущев бегло разглядел заколку и небрежно нацепил ее на ворот своей сорочки. – Выпьем.

Слуга наполнил шампанским два бокала.

– За тебя, моп шер, – поднял бокал Сталин.

– Нет, нет, – покачал головой граф. – Мои именины прошли. Утро. И посему я хочу выпить за одно твое удивительное качество, которому всегда завидовал.

– Неужели во мне есть что-то, способное вызвать твою зависть? – улыбнулся Сталин.

– Есть, Иосиф. Твое умение жить настоящим.

– Первый раз слышу!

– Да, да. Николай II умел жить прошлым, Ленин – будущим. А ты – живешь настоящим. Живешь полной грудью. И вместе с тобой живет настоящим советский народ. Сталин серьезно посмотрел во влажные, глубоко посаженные глаза Хрущева. Они чокнулись и выпили.

Слуги, между тем, проворно готовили фондю – топили сыр в кипящем вине, быстро размешивая его специальными ложками.

Двое охранников подземной тюрьмы внесли на мраморной доске отрубленный торс только что умершего юноши. Торс сочился парной кровью. Повар с ножом и двузубой вилкой склонился над ним и вопросительно посмотрел на графа.

– Вырезку. На уровне почек, – приказал Хрущев. Повар принялся вырезать из торса два узких куска.

– Cela vaudrait le coup d'aller a Archangelskoe pour gouter une vrai fondue! – засмеялся Сталин, садясь за стол. – Я, признаться, только что поужинал.

– *Мое* фондю я готов есть в любое время суток, – граф сел на противоположный конец стола. – Такого в *вашем* Кремле не попробуешь... Опять, небось, свинину ели? Или этих дурацких рябчиков в сметане?

– Mon cher, ты культивируешь в себе желчь.

– Я культивирую в себе гастронома. У *вас* не осталось ни одного хорошего повара. Ежов и Берия пересадили всех.

– Приходи к нам на 8-е марта. Будет прекрасный французский стол. И куча дам, которых ты так не любишь.

– Дважды в кремлевскую воду не входят... Расскажи лучше про эту амнистию.

– По «ленинградскому делу»?

– Да. Что это за метания? Вы полагаете, что ждановское противопоставление убогих ярмарок продовольственным советским магазинам не было ошибочным? И Вознесенский не занимался промышленным вредительством?

Сталин осторожно стряхнул пепел с сигары в аметистовую пепельницу:

– Вознесенский действительно был вредителем и работал на англичан. А насчет ярмарок для народа у Политбюро мнение изменилось.

– Вот как? – притворно поднял брови граф. – Значит, ждановские ярмарки – не реставрация лапотной Руси?

– В них было много действительно лапотного, архаического... эти показательные казни на Сенной, четвертования, битье батогами... массовые совокупления на льду... Но. Сама идея устройства зимних ярмарок не была антисоветской.

– Гениально! – Хрущев ударил своими костистыми ладонями по столу и длинный, черного дерева стол угрожающе загудел в гулком и прохладном пространстве зала. – Ленин и Сталин освободили забитого русского человека, сделали внутренне и внешне свободным!

Но счастье ему обеспечат не медикаментозные разработки наших химиков, а коллективные пляски, свальный хлыстовский грех и поклонение Перуну на Сенатской площади! «Припадем к корням и напьемся древней радости предков!» Эту бухаринскую крамолу раньше протаскивали Жданов и Постышев. А теперь кто? Маленков?

– Маленков здесь ни при чем.

– А кому же пришло в голову амнистировать «ленинградцев»?

– Мне.

Хрущев тяжело посмотрел на него. Сталин ответил спокойным немигающим взглядом.

Хрущев отвел глаза в сторону повара и слуг:

– Ну и что?

– Все готово, ваше сиятельство, – выпрямился бритоголовый повар.

– Подавай.

Вмиг перед Сталиным и Хрущевым были поставлены кастрюли с кипящим оливковым маслом и нехотя булькающим расплавленным сыром, тарелки со специями и с мелко нарезанной человечинной.

Хрущев воткнул спицу в кровавый кусок, быстро обжарил его в масле, затем посыпал свежемолотым перцем, обмакнул в сыр, отправил в рот и сразу же запил добрым глотком ледяного «Chateau Rieussec». Сталин выбрал небольшой кусочек человеческой вырезки, обжарил в масле, sprыснул лимоном, долго и неторопливо окунал в тягучий сыр, вынул, покрутил спицей в воздухе, остужая, и так же не спеша поднес к губам и попробовал:

– Ммм... Incroyable.

Некоторое время они ели и пили молча.

– Значит, Жданов тоже будет реабилитирован? – спросил Хрущев.

– Возможно... – Сталин любовался мясом, стремительно меняющим свой цвет в кипящем оливковом масле. – Послушай, mon ami, я давно тебя хотел спросить: почему ты не держишь собак?

– Я не люблю животных, – сухо ответил Хрущев.

– Странно. Такой гедонист – и не любит животных.

– Я не гедонист, – граф зло посмотрел на Сталина.

– Еще одна новость! А кто же ты, mon cher?

– Раб Сталина, – угрюмо процедил граф, открыл рот, вывалил свой мясистый, с беловато-желтым налетом язык и, закатив глаза, завибрировал им, издавая низкий гортанный звук.

Сталин замер с золотой спицей в руке. Тонкие пальцы его разжались, спица с нанизанным куском сырой человечины упала ему на колени, соскользнула на пол и завертелась на блестящем паркете. Голова вождя дернулась назад, пальцы вцепились в стол и после долгого приступа хохота хрипло-пронзительное «Ясаух пашо!» разнеслось по пустынным залам дворца.

ААА разродилась к восьми утра. Она лежала, подплывая кровью, на своей громоздкой кровати с поднятым к потолку балдахином и слезящимися глазами смотрела на плод – черное матовое яйцо, чуть меньше куриного, покоящееся на ладонях коленапреклоненной маленькой дамы. Большая дама, посаженная на цепь возле ванны, билась и надсадно выла, чуя нехорошее. Роды были смертельны для ААА. Жить ей оставалось не долго. Кровь сочилась из ее развороченной матки, и не было на земле силы, способной остановить ее. Швейцар, опустившись на колени, беззвучно плакал.

– Зовите... пускай попытаются... – прохрипела ААА. Швейцар неловко поднялся с колен и вышел к собравшимся подросткам:

– Ступайте...

Подростки стали робко подниматься по лестнице.

– Только по одному... по одному... – хрипела ААА.

– По одному, – высморкался в кулак швейцар и угрюмым Цербером встал в дверях спальни.

Первым вошел толстый веснушчатый мальчик.

– Как звать? – спросила ААА,

– Роберт... – произнес мальчик и, увидя черное яйцо, оцепенел от ужаса.

– Давай, Роберт. Первому всегда легче... – она прикрыла веки.

Но ужас прижал мальчика к стене. Пухлое лицо его побелело, губы стали серыми. Выпученные глаза вперились в яйцо. На зеленых брюках проступило пятно и под начищенным до блеска ботинком показалась растущая лужица.

– Ну, что... что же ты... – прошептала ААА.

– Он обмочился, – ответила маленькая дама. ААА открыла глаза.

– Я бэ-бэ-бэ... я не-не-не... – заговорил Роберт, трясая головой.

– Пошел вон, – сказала ААА.

– Но я го-го-го... я го-го-го...

– Пшел! – прохрипела ААА.

Пятясь, он вышел.

Следующим вошел лохматый щербатый парень в истертой вельветовой куртке со значком ГТО. С решительным лицом шагнул он к ААА, но, увидя яйцо, вскрикнул и закрылся руками.

– Вон! – выдохнула ААА.

Третьей была девочка в школьной форме с белоснежным накрахмаленным фартуком и комсомольским значком. Взглянув на яйцо, она вздрогнула всем телом и, прижав пальцы с обкусанными ногтями к потрескавшимся губам, произнесла, словно разубеждая себя:

– Нет.

Маленькая дама протянула ей руки с яйцом.

– Да нет же! – засмеялась девочка, пятясь, словно ходячая кукла.

– Вон! – скомандовала ААА.

Ухватистая рука швейцара выволокла девочку за дверь. Послышалось ее громкое рыдание. Четвертого мальчика вырвало на туркменский ковер. Пятый рухнул навзничь, гулко стукнувшись головой о край ванны. Впавшего в истерику шестого кулаками успокаивал швейцар. Седьмая наложила в шерстяные рейтузы. Восьмого и девятого бурно рвало. Одиннадцатого снова бил швейцар.

– Не вижу! Никого не вижу, блядская мать! – хрипела ААА, откидываясь на мокрую от смертельного пота подушку. – Неужели засохнет живой корень?!

Наконец в заблеванную, пахнущую кровью и мочой спальню вошли последние трое: двое мальчиков вели под руки худенькую девочку с изуродованными полиомиелитом ногами, засунутыми в уродливые, скрипящие ботинки.

– Кто? – спросила ААА.

– Белка, – ответила бледная девочка.

– Женя, – пробормотал белобрысый горбоносый мальчик.

– Андрюха... – с трудом разлепил маленькие узкие губы другой.

– Почему все?

– Непричастная, можно мы втроем? – девочка прижала малокровные руки к груди и забормотала, захлебываясь своим страхом. – Одному... одному великое наследие принять надо, это конечно... это святое... но друг... друг рядом... друг и гад, друг и гад... ведь мои друзья... друзья мои... уходят... и друг ведь рядом... друг... он не уйдет... легко принять за остроту ума... если... если... если...

– Что у тебя на ногах? – спросила ААА.

– Это... котурны, – улыбнулась девочка кривой, затравленной улыбкой обезьянки.

– «Красный скороход» не выпускает котурны, дура, – мрачно смотрела на нее ААА. – Чего стоите? Ну?!

– Женька... Женька... Женька... – девочка оттолкнулась от парней и, скрипя ботинками, сделала шаг к яйцу. Затем второй.

На третьем ужас согнул ее пополам, и она рухнула на заблеванный ковер.

Горбоносый парень уперся руками в свои худые бока и изо всех сил подтолкнул себя к яйцу. Ноги его, словно пораженные параличом, с невероятным усилием перенесли трепещущее тело на полметра вперед, но голова стала запрокидываться назад, изо рта потекла слюна, и Женька повалился навзничь, забился на полу.

Оставшийся мальчик с круглым лицом и тонкими губами стоял, прижавшись к стене и закрыв глаза.

– Нет... не вижу. Никого не вижу. О блядские матери и подлые отцы! – с тоской простонала ААА.

Стон ее словно подтолкнул Андрюху. Как сомнамбула, с закрытыми глазами двинулся он вперед, дошел до ладоней коленопреклоненной дамы, уперся в них животом и остановился. Маленькая дама с мольбой посмотрела на него и стала медленно поднимать ладони с яйцом. Но по мере приближения их к круглому лицу Андрюхи, мелкая дрожь стала охватывать его тело, словно через него пропустили электрический ток. Зубы мальчика намертво сжались, из носа потекла кровь, испарина выступила на побелевших

щеках. Он всхлипнул, неловко взмахнул руками, обхватил голову скрюченными пальцами и громко выпустил газы.

– Вон! Вон! Всех вон! – зарыдала ААА. – Боря прав! Боря прав, свиньи!

Швейцар принялся выволакивать подростков.

– Никого! Во всей империи – ни одного восприемника!

– Что же будет, Господи? – простонала маленькая дама.

– Разорвется цепь золотая, – ААА бессильно посмотрела в потолок. – Будете прыгать по земле, как блохи, и не знать, что такое звезды...

Высокая дама залаяла и забилась, кусая свои голенастые ноги.

Дверь скрипнула, приотворившись, и в спальню вполз маленький толстый мальчик.

– Что? – открыла глаза ААА.

– Он в тряпках прятался, – запоздало пояснил швейцар. Мальчик встал. Он был рыжим, с отвратительным красным лицом; большие водянистые глаза близко сидели возле толстого мясистого носа; из отвислых мокрых губ торчали неровные зубы.

– Кто ты, обмылок? – спросила ААА.

– Иосиф, – ответил мальчик неприятным фальцетом.

– Откуда?

– Из Питера.

– Чего тебе надо?

Мальчик без признаков страха посмотрел на яйцо, шмыгнув носом:

– Я хочу.

ААА и маленькая дама переглянулись. Большая дама перестала скулить и замерла.

Швейцар напряженно подглядывал в дверную щель.

Яйцо матово чернело на маленьких женских ладонях.

Мальчик подошел, опустил на колени. Его уродливое лицо нависло над ладонями. Он открыл большой как у птенца рот и проглотил яйцо.

– Свершилось! – произнесла ААА сдобным как филипповская булка голосом и облегченно вытянулась на мокрой от крови кровати. – Подойди.

Мальчик подполз к кровати, на коленях.

ААА положила ему на рыжую голову свою тяжелую грязную руку:

– Те, кто пытался, будут просто рифмовать. А ты станешь большим поэтом. Ступай.

Мальчик встал и вышел из спальни.

– Мне пора домой, – произнесла ААА и навсегда закрыла глаза.

Белка, Женя и Андрюха оторопело стояли неподалеку от особняка ААА, когда маленький и толстый Иосиф вышел из ворот. Они посмотрели на него и по его еще более красному, беспокойно-невменяемому лицу поняли что произошло. Опустив выпученные глаза, он осторожно обошел их и побежал прочь на коротких ногах.

– Все... – бессильно опустила худые руки Белка. – Иосиф сожрал.

– Блядь! Как везет этому рыжему, – закусил губу Женя.

– Не завидуй другу, если он богаче... – упавшим голосом пробормотал Андрюха, провожая Иосифа тоскливым взглядом.

– Боже, за что мне... за что мне все это... – захромала Белка.

– Поехали ко мне портвейн пить, – двинулся за ней Женя.

– Я не смогла... это все... это все... нет! Господи! Это все не со мной! – Белка обхватила лицо руками. – Это сон какой-то! Это все не со мной происходит! Я сплю!

– Успокойся, ну что ты... – взял ее за локоть Женя.

– Может это... и не так важно... – бормотал, идя за ними, бледный Андрюха. – Надо... поверь в себя... начни с нуля...

– Мы сильные, Белка, – обнял ее Женя, – мы сами сможем.

– Боже, какие вы мудаки! – вырвалась она и захромала быстрее. – Сами! Они – сами! Вы не понимаете! Не понимаете, что случилось сегодня! Вы даже не понимаете этого! И никогда не поймете!

Слезы брызнули из ее глаз. Рыдая, она шла по улице Воровского, громко скрипя ортопедическими ботинками. Редкие прохожие смотрели на нее.

– Белка, послушай... – поспешил за ней Женя, но Андрюха остановил его:

– Оставь ее. Пошли выпьем...

Они двинулись к Садовому Сзади раздался свист. Друзья обернулись. К ним подошел очень высокий парень в модной спортивной куртке с надписью «ATLANTA», с португальской сигариллосс в красивых и наглых губах. В руках он держал потертый спущенный мяч для регби на толстой резинке. Парень лениво, но умело бил по мячу ногами в китайских кедах, мяч метался на резинке во все стороны, пугая прохожих.

– Здорово, чуваки! – усмехнулся краем рта парень.

– Здорово, Васька, – уныло вздохнул Андрюха,

– Дай закурить, – прищурился Женя.

– Последняя, – Васька забросил мяч за спину. – Ну как?

– Иосиф сожрал, – выдохнул Андрюха.

– Во бля! – замер Васька. – Кто б подумал? А что ж Боб?

– Твой Боб просрался, – сплюнул Женя, устало потер лоб. – Блядь, голова болит.

– Погоди, погоди, погоди, – забормотал вдруг Андрюха. – Можно вот еще... вот еще что...

– Чего? – сонно спросил Женя.

– Грабить и убивать.

Женя и Васька переглянулись. Андрюха напряженно молчал, глядя себе под ноги. В глазах его показались слезы, потекли по серым щекам, закапали на мостовую.

– Да ну, чуваки... – повел спортивными плечами Васька. – Я вам давно говорил: надо лабать джаз, А все остальное приложится.

– Засунь себе в жопу сакс, мудило! – выкрикнул Андрюха и, всхлипывая, пошел прочь.

Женька догнал его только возле Тишинского рынка. – Андрюх... – повис он на его плече. – Ну, ты и разогнался. Прямо как Скобликова... ну, постой же!

– Чего тебе? – повернул к нему зареванное лицо Андрюха.

Женька никогда не видел Андрюху плачущим и поспешил отвести свои быстрые глаза:

– Пошли... это... пошли по пиву вмажем! Я ставлю. Андрюха высморкался на тротуар, вытер лицо рукавом, угрюмо глянул на облупившиеся ворота рынка:

– А где здесь пиво?

– Там, за углом, возле «Утильсырья» баварцы торгуют, – оживился Женька, хватая его за руку. – Пошли!

Они вошли на рынок.

Несмотря на ранний час, здесь уже толпился народ, торгующий чем попало: поношенной одеждой, домашними животными, трофейным оружием, детьми, грязным кокаином, бананами и радиодетальями.

– Виноградную косточку в теплую сперму зароооою! – пел безногий лысый солдат, подыгрывая себе на мандолине.

Напротив вонючего павильона «Утильсырье» стояла объемистая цистерна с баварским пивом «Hacker-Pschorr». Толстый немец наполнял литровые кружки, два других жарили на электроплите свиные сардельки.

Женька протянул баварцу десятку, взял две мокрые, истекающие пеной кружки, протянул одну Андрюхе:

– Держи. Пошли на голубей глянem. Андрюха рассеянно принял кружку и уставился на нее, словно никогда прежде не пил пива.

– Ты чего? – непонимающе оттопырил губу Женька. – Не любишь баварское?

Андрюха вздрогнул и жадно припал к кружке. Ополовинив ее, он шумно выдохнул и с облегчением произнес:

– Ништяк.

Женька подмигнул ему, усмехнулся:

– Ну вот. Все путем, старик. На ААА свет клином не сошелся. С другого бока поднапрям, Андрюха. Мы еще их заставим ссать крутым кипятком. А?

Андрюха повернул к нему опухшее лицо, задумался и криво улыбнулся:

– Заставим.

Женька бодро подхватил его под руку, повел в проход между павильонов:

– Сейчас на малаховских турманов глянем. Знаешь, я на них спокойно смотреть не могу – сразу... как-то... ну, не знаю... слов не хватает объяснить... ярко как-то на душе... волна прет... законно как-то...

Но не успели они выйти из заплеванного прохода, как дорогу им преградили три угловатые фигуры.

– Мальчики, а вам мамочка разрешила пивко сосать? – ощерилась фигура в центре, и по ледяным глазам, стальной фиксе и перебитому носу друзья к ужасу своему узнали Крапиву – пахана зловещей Лианозовской шпаны, наводящей ужас на московские танцплощадки и литературные кафе.

– Они, небось, и не спросили у мамы, – грустно заметил бритоголовый Генрих-Вертолет, поигрывая кастетом. – Ребята, так комсомольцы не поступают.

– Генрих! – укоризненно сплюнул широкоплечий Холя. – Они же еще пионеры. А пионерам – пиво положено по уставу. Чтобы учились ссать по биссектрисе.

Женька и Андрюха попятились.

– Дай закурить, продажная тварь! – сзади Женьку слегка ткнули финкой в задницу Он обернулся. Позади стояли Севка-Мямля и Оскар-Богомаз.

– Да чего вы, ребят, в натуре... – забормотал было Женька, но татуированные руки Оскара уже полезли к нему в карманы, обшарили, вытянули двадцатку, последний сборник стихов ААА и полпачки «Казбека».

– Всего ничего... – Оскар передал деньги Крапиве, папиросы забрал себе, книжку швырнул на землю.

Севка-Мямля взял из рук Андрюхи кружку и стал не спеша лить пиво ему на аккуратно подстриженную голову:

– Пиво, пиво, пиво, пиво, пиво, пиво. Пиво текло. Кто первым написал про антимирь?

– Ты, – ежась, ответил Андрюха.

– Молодец, – Севка поставил пустую кружку ему на голову – Ты не Гойя. Ты – другое.

– Давай голенища из собственной кожи! – Холя слегка ударил Женьку кастетом поддых.

Женька согнулся, упал на колени,

– Лунная соната! Исполняется на балалайке» – проревел Генрих ему в ухо.

– Аида китайцев потрошить, – скомандовал Крапива, и лианозовцы растворились в толпе.

Хрущев медленно раздевал Сталина, лежащего на огромной разобранной кровати. В спальне графа было светло – три канделябра освещали стены, обитые сиреневым шифоном, с тремя большими портретами в резных позолоченных рамах. На центральном серо-розово-голубом, кисти Пикассо, была изображена Лариса Рейснер, сидящая в золотой ванне с молоком; на висящих симметрично по бокам – Сталин и Ленин, написанные Бродским в классическом стиле, в красно-коричнево-синих тонах. Из радиоприемника приглушенно доносилась трансляция оперы Амбруаза Тома «Миньон». В камине потрескивали березовые поленья.

– Этот запах твоего одеколona... – Сталин гладил смуглую скулу Хрущева. – Я еще не устал сходить от него с ума.

– Я рад, мальчик мой, что хоть чем-то способен удивить тебя, – Хрущев полностью расстегнул сорочку Сталина, раздвинул своими волосатыми цепкими руками нежнейший шелк и припал губами к безволосой груди вождя.

– Мое чувство к тебе, mon ami, не похоже ни на что, – закрыл глаза Сталин. – Это... как страх.

– Я понимаю, мальчик мой .. – прошептал Хрущев в маленький сталинский сосок и осторожно взял его в свои большие чувственные губы.

Сталин застонал.

Хрущев осторожно расстегнул ему брюки, сдвинул вниз полупрозрачные черные трусы, выпуская на свободу напрягшийся смуглый фаллос вождя. Послюнявив пальцы, граф принялся ими нежно тереть сосок Сталина, а сам двинулся губами вниз по телу вождя – к наливающемуся кровью фаллосу.

– О... как часто я думаю о тебе... – бормотал Сталин. – Как много места занял ты в моей беспредельной жизни...

– Masculinum... – губы графа коснулись бордовой головки.

Сталин вскрикнул и схватил руками голову Хрущева. Губы графа сначала нежно, затем все плотоядной стали играть с головкой вождя.

– Спираль... спираль... – стонал Сталин, впиваясь пальцами в длинные серебристые волосы графа.

Сильный язык Хрущева стал совершать по сталинской головке спиралевидные движения.

– Знаешь... милый... нет... sacre... я... но нет... кончик! кончик! кончик! – бился на пуховых подушках Сталин.

Язык графа осторожно коснулся кончика головки и стал раздвигать мочеточный канал.

– Но... нет... не давай! Не давай мне! – закатывал глаза Сталин.

Хрущев сильно сжал подобранные яйца вождя

– Чтобы не хлынуло... ооо... прикажи! Прикажи мне по-старому! Но нежно! Только нежно!

– Дай мне попochку, сладкий мальчик мой, – мягко приказал Хрущев, цепко держа Сталина за яйца. Всхлипывая, Сталин перевернулся на живот:

– Мальчик боится... поцелуй спинку...

– Поцелуем мальчика в спинку... – Хрущев сдвинул сорочку со сталинских плеч и стал покрывать их медленными поцелуями.

Сталин стонал в подушку.

Хрущев поцеловал его взасос между лопаток, дотянулся губами до уха, прошептал:

– Чего боится мальчик?

– Толстого червяка... – всхлипывал Сталин.

Где живет толстый червяк?

– У дяди в штанах.

– Что хочет червяк?

– Ворваться.

– Куда?

– Мальчику в попку

Хрущев расстегнул свои брюки, достал длинный неровный член с бугристой головкой, на блестящей коже которой был вытатуирован пентакль. Граф плюнул себе в ладонь, смазал плевком анус Сталина и, навалившись сзади, мягкими толчками стал вводить свой член в вождя.

– Ты уже... дядя... нет... по-нежному! по-нежному! – забормотал Сталин.

– Сладкий мой оловянный солдатик... – шептал Хрущев ему в ухо,

– Зачем... мучения... ооо... зачем людям это... – кусал губы Сталин.

– Чтобы забывать... чтобы все забывать, мальчик мой... Член графа целиком вошел в анус Сталина. Сжимая левой рукой яйца вождя, граф взял правой рукой его за член и стал не быстро мастурбировать.

- Ты... это... ты... – замычал Сталин. – Что дядя делает с мальчиком?
  - Дядя ебёт мальчика в попку, – жарко шептал Хрущев.
  - Как? Как? Как?
  - Сладко...
  - По приказу? Ведь по приказу же... по четкому...
  - По четкому приказу
  - Дядя приказал? – всхлипывал Сталин.
  - Приказал. Четко приказал...
  - И еще прикажет?
  - И еще прикажет... сотни миллионов раз прикажет дядя мальчику...
  - Что? Что? Что?
  - Прикажет... но не сразу...
  - Как? Как? Как?
  - Постепенно... постепенно... постепенно...
  - Но... но... мальчик уже... мальчик уже...
  - Что, мальчик?
  - Мальчик готов... он уже... уже...
  - Будет приказ... будет приказ...
  - Мальчик уже... мальчик уже... подноси! Подноси, вредитель!
- Обнимая сзади Сталина, Хрущев перевалился с ним на бок на край кровати.
- Аджуба! – срывающимся голосом позвал граф. Появился Аджуба с золотым потиром, украшенным шестью крупными сапфирами. Опустившись на колени возле кровати, он подставил потир под багровый член Сталина.
  - Приказ мальчику: кончай! – прорычал Хрущев. Они кончили одновременно, с криками и стонами. Аджуба ловил потиром густые порции сталинской спермы.
  - Не поехал! Не поехал! – закричал Сталин высоким голосом.
  - Да! Да! Да! – рычал граф, дергаясь всем телом и вгоняя член в трепещущий зад Сталина. Когда агония оргазма спала, любовники замерли в полуобмороке.
- Аджуба продолжал держать потир, внимательно наблюдая за вянущим, роняющим последние мутные капли членом Сталина.
- Вечное возвращение... симбиоз... – пробормотал Сталин и засмеялся.
  - Я люблю тебя, – устало прохрипел Хрущев в напomaженные волосы вождя.
- Сталин взял его руку, поднес к губам и поцеловал. Хрущев стал осторожно вынимать свой член из ануса вождя.
- Остаься, прошу тебя, – Сталин целовал его костистые пальцы со слишком выпуклыми ногтями. – Твоя сперма горячая. Как лава. Ее невероятно приятно чувствовать внутри себя...
- Хрущев замер.
- Аджуба поймал краем потира последнюю, самую тягучую каплю, поставил потир на заваленную книгами тумбочку и вышел.
- Ты много читаешь? – взгляд Сталина упал на книги.
  - А что еще делать затворнику?
  - Я забыл, что такое книга.
  - Вождю простительно.
  - Есть интересные писатели?
  - Есть. Но нет интересных книг.
  - В каком смысле?
  - Понимаешь... что-то происходит с русской литературой. А что – я пока не могу понять.
  - Она гниет? – Наверно.
  - Ну так, мы все гнием. Как только человек перестает расти, он начинает гнить.
  - Книга – не человек.
  - Ты хочешь сказать, что книги не гниют?

- Ты софист, Иосиф! – засмеялся Хрущев, и его уменьшившийся член вывалился из ануса Сталина.
- Что это... «Один день Ивана Денисовича»? – прочел Сталин название рукописи, лежащей на полу возле кровати.
- Денисовича, – поправил его Хрущев, в изнеможении переворачиваясь на спину – Это повесть одного странного типа. Принес мне ее. Пешком шел в Архангельское из крымских лагерей принудительной любви,
- Из LOVEЛАГА?
- Да. Сказал, что в дороге сносил четыре пары сапог. Я сразу усомнился.
- Он сидел там? – Сталин взял с золотого блюда гроздь винограда, оторвал виноградину, вложил в губы Хрущева.
- Да. Кажется, лет семь. Потом в ссылке был, в Коктебеле. Ну, и написал повесть. О быте в LOVEЛАГЕ.
- Я слышал, сейчас многие бросились писать на эту тему. Злоба дня. Интересная повесть?
- Странная... Написано будто бы живо и достоверно, но... в ней что-то изначально фальшивое.
- Расскажи, – Сталин с удовольствием ел виноград.
- Да что, собственно, рассказывать, – зевнул Хрущев. – Иван Леопольдович Денисович, махровский одесский жид, был приговорен ОСО к десяти годам LOVEЛАГА за сексуальные перверсии третьей степени. Работал аккомпаниатором в одесской филармонии. Заманивал к себе домой школьниц старших классов, поил ликером со снотворным. Когда засыпали – сношал во все отверстия, набивал вагину собственным дерьмом, зашивал золотой ниткой. Потом одевал в подвенечное платье, отвозил в Луна-парк, сажал с собой на карусель и катался до тех пор, пока школьница не просыпалась. Больше всего ему нравилось ее выражение лица в момент пробуждения. Ну, и в повести описан один день его лагерной жизни. Как он сношает и как его.
- И что в ней фальшивого, mon cher? – Сталин принялся кормить Хрущева.
- Во-первых – на сто страниц ни одного итальянского слова. О французском языке вообще речи не идет. Английские фразы встречаются, но крайне редко. Выходит, что все зеки говорят по-русски? Что за аrogантность?
- Это странно, – рассматривал его лицо Сталин.
- Во-вторых, там описаны какие-то невинные детские сношения. Нет ни ебли в печень, ни говноebaния, ни подкожной ебли. А классическая лагерная ебля старика через катетер?
- Об этом знает даже моя Веста.
- В-третьих, кухня. Этот Денисович брюзжит, что его тошнит от супа из спаржи и кур по-венгерски, которыми их кормят чуть ли не каждый день. Их бригадир (у них там принудительное шитье бисером и вязание кружев) страдает изжогой и отдает порцию «прогорклых, пережаренных напрожёт до нестерпимой окоёмной горчины» трюфелей другому заключенному, а тот «радостно склоняется над ней». Вино у них, якобы, только крымское, французским не пахнет. Кокаин в кокскафе разбавлен сахаром.
- Бред сивой кобылы. В LOVEЛАГ идет первосортный колумбийский кокаин, качество контролирует МГБ, все бармены в кокскафе – офицеры госбезопасности, им в голову не придет разбавлять продукт...
- В общем, какие-то подозрительные лагеря... да и тип этот мне сразу не понравился. Хитрый. А русский писатель не должен быть хитрым. Грубым, наглым, злым – пожалуйста. Только не хитрым... У меня истопником служит Варлам. Он полжизни отбухал в крымском LOVEЛАГЕ. Колоритный персонаж. У него раздвоенный фаллос для ебли в ноздри. Руки согнуты по форме человеческих голов. Он поимел в ноздри десятки тысяч людей. Я ему дал прочесть. Так он мне сразу сказал: «Я в таких лагерях не сидел». Ну, а в-четвертых...
- А в-четвертых, я люблю тебя, – Сталин поцеловал его в жующие губы. Хрущев ответил долгим поцелуем. Затем бодро встал, взял потир и осушил одним духом.

– Mon cher ami, сейчас я покажу тебе одну вещь, – проговорил Сталин, глядя на свой чемоданчик, стоящий у двери спальни. – Очень важную. Ее мы ждем с тобой уже 16 лет. Хрущев замер с потиром в руке и медленно повернулся к Сталину.

Иосиф бежал по утренней Москве.

Мартовское солнце встало и не по-весеннему ярко освещало столицу советской империи. Серебристые дирижабли с портретами членов Политбюро висели в безоблачном небе. По оттаявшим улицам спешили машины и пешеходы. Капель струилась с переливающихся на солнце сосулук. Сизые, словно облитые воском голуби ворковали на теплой жести крыш, взъерошенные воробьи неряшливо чирикали в грязи дворов. Лязгали и звонили трамваи. Зазывно кричали уличные торговцы.

Обогнув громаду Дворца Советов с восьмидесятиметровым Лениным, Иосиф выбежал на Фрунзенскую набережную и, оперевшись о гранитный парапет, перевел дыхание.

Внизу не спешно текла Москва-река, неся редкие льдины и мусор. Солнце играло в серо-зеленой воде.

Иосиф сплюнул в воду.

Он до сих пор не верил в происшедшее с ним, убеждая себя, что все это было тягостным сном и что он во сне проглотил наследие великой ААА. Но тяжесть в животе и необычный кисло-гниловатый привкус во рту сурово возвращали его к реальности.

– Ночной кораблик... – пробормотал он, шурясь на воду, и снова сплюнул.

Близко от него проехал грузовик, обдал водой из лужи. Иосиф рассеянно посмотрел на мокрые брюки, громко шмыгнув носом и бесцельно пошел по набережной.

Напряжение в животе росло, будоража воображение и память. Иосиф видел себя в Петербурге, на фотофабрике отца. Бодро блестящий лысиной отец показывает ему новый проявочный цех, тыча своей белой тростью с золотым наконечником в ванны с реактивами, вороша клубки пленок, постукивая по новым, пахнущим лаком столам, по желто-коричневой плитке пола, по только что вставленным оконным рамам.

– Все тебе останется, зуслик! Азохен вэй! Камни, дубины, обрывки новостей, перетертый с чесноком и солью Абрам, запах священных солдат, сушеная кровь, – все! все! – громко смеется отец, обнимая Иосифа и подводя его к идеально белой двери с пластмассовой эмблемой в виде свиного окорока.

– Что здесь, папа? – спрашивает Иосиф, трогая толстое, до слез родное ухо отца.

– Персонал по мясной проявке, – отец поворачивает серебряный ключ в замке двери. – Эти сволочи хотели расстрелять 618 миллионов человек, а фонды обеспечили только на 26%! Вэйзмир! Понимаешь, зуслик?

– Понимаю, – понимает Иосиф, вваливаясь в тесную, чудовищно смердящую комнату. Она заставлена узкими железными ящиками. В них сидят и заживо гниют рабочие отцовской фабрики.

– Покажи женщину, папа! – трепеща, шепчет Иосиф в родное, пахнущее одеколоном «Цитадель», ухо.

– На Мойке, всех на Мойке, всех, всех до одной на Мойке, на Мойке, зуслик, шоб я исдох, на Мойке, на Мойке все, все, все! – яростно шипит отец, открывая ящик N153.

В нем стоит шестнадцатилетняя еврейская девушка невероятной, ослепительной красоты. От ее божественного тела исходит чудовищная вонь. Отец касается концом трости ее пупка, и девушка, как заведенная кукла, открывает рот и механически повторяет одну фразу:

– Ферфолан дер ганце постройке... ферфолан дер ганце постройке...

– Это тебе не гоем шикса, – шепчет отец Иосифу и концом трости теребит соски на небольшой груди девушки. – Тягай ее у шлафенциммер, зуслик, с ней пойдет не потский разговор, шоб я стал шикер и ганеф!

Иосиф, цепенея от ужаса, отдается девушке на кровати родителей.

– Йося, ты вже торопишься, – улыбается полная белолицая мать, кладя ему на лоб смоченный водкой носовой платок – Так киндермахен делают только неумные люди.  
– Мама, ну я не знаю что, ну оставьте его в покое! – истерично кричит сестра, поднося к своим глазам два медных шара от кровати и отражаясь в них.  
– Ферфолан дёр ганце постройке... – повторяет девушка, насилуя Иосифа.  
Стальные руки ее, сжимаясь, ломают ему ребра.  
– Ты давно у меня не снимался, зуслик, – грустно улыбается отец.  
– Будить динозавра... – пробормотал Иосиф и пнул кусок льда.  
Лед отлетел на проезжую часть набережной. Иосиф побежал.  
– Будить динозавра... будить динозавра... – бормотал он, шмыгая носом.  
Ему захотелось помочиться. Он остановился, расстегнул пальто и брюки и с наслаждением пустил теплую струю мочи на тротуар.  
– И как же тебе не совестно? – спросила прошедшая мимо старушка.  
– Все немного волхвы... – Иосиф до слез в глазах смотрел на свою исходящую паром мочу  
Школьник с большим ранцем кинул ему в спину снежок.  
Иосиф побежал дальше, не застегнувшись. Его тупоносые ботинки шлепали по лужам.  
Люди, дома и улицы мелькали в его выпученных глазах,  
Он остановился только наверху Воробьевых гор. За его спиной возвышалась громада МГУ, а перед ним простиралась Москва.  
– Пила свое вино... – задыхаясь, пробормотал он и прижал пылающую щеку к гранитному парапету смотровой площадки.  
Гранит медленно дышал, как каменный слон. Иосифу захотелось стать гранитным деревом и скрежетать тяжелыми словами. Пронизанный солнцем воздух пах медными шарами от кровати. Земля была плоской и соленой от человеческой мочи.  
– Готвя дно... – прошептал Иосиф в гранит и вдруг почувствовал, как черное яйцо лопнуло в его желудке.  
Он поднял голову и посмотрел на Москву. Она сложилась, как картонный домик. Тысячи обжигающих рук впилась в тело Иосифа и потянули его во все стороны. Резиновым одеялом он растягивался над Россией. В голове его пела божественная пустота.  
– О це цоца первоцоца! – таёт отец.  
– Йося, ты вже выпил свое молоко? – распадается на молекулы мать.

Ненавистный звон маленького позолоченного будильника, медный бой напольных часов в гостиной, и сразу – далекий, тяжко-ниспадающий перезвон Спасской башни:

– Веста Иосифовна, восемь часов.

Веста открыла глаза. Стройная, тонко пахнущая Кёльнской водой, гувернантка в зеленом платье и белой перелине склонилась над ней, осторожно откинула одеяло.

– Уааааау! – потянулась Веста, переворачиваясь на спину. – Васька встал?

– Уже кофе пьет, – мягкие руки гувернантки помогли ей сесть, сняли с полусонного теплого тела тончайшей выделки ночную рубашку, возникли с розовым, предварительно подогретым махровым халатом.

Голая Веста встала, подставила руки под теплые рукава, зевнула и наступила босой ногой на толстую книгу, которую читала до двух ночи – De Sade «La Nouvelle Justine ou les Malheurs de la Vertu».

– Скучно, – пнула Веста книгу и протянула ногу опустившейся на колено гувернантке.

Узкие спортивные тапочки приятно стянули ступни. Не запахивая халата, Веста прошла в просторную ванную комнату, глянула в большое зеркало, провела пальцем по черным бровям, тронула язык и мазнула по зеркалу.

Гувернантка вошла, положила на унитаз подогретый круг.

Веста откинула полу халата, села на унитаз. Гувернантка встала рядом:

– Про что сегодня, Веста Иосифовна?

– Давай... – зевнула Веста, – про угольную кучу. Струя ее мочи зажурчала в стояке унитаза.

– Ну, дом у нас был четырехэтажный, а во дворе во внутреннем такая была большая угольная куча. Мне она казалась вообще горой какой-то. Выйду, бывало с нянькой, посмотрю на нее – страшно как-то...

– Почему? – Веста гладила и рассматривала свои смуглые колени

– Большая потому что, черная. И шлаком перегорелым пахнет. Кисловатый такой запах. Вот. Ну, и жил у нас на втором этаже паренек, года на четыре меня постарше. Витюша. Толстенький такой, аккуратный. Отец у него в акционерном обществе «Россия» служил. И однажды зимой, уже темнеть начало, мы с этим Витюшей из школы вместе возвращались.

– Сколько тебе лет было?

– Лет восемь. А ему – двенадцать. И он мне говорит – пошли во двор, я тебе Эверест покажу. Зашли. Он меня за кучу завел и показывает – вот Эверест. А куча и впрямь, как гора, снегом покрыта. А он тут меня в грудь – толк! Я на кучу упала, а он – на меня. Залез мне под шубку рукой, рейтузы оттянул, схватил за письку...

– А ты? – слабо закричала Веста, вцепившись пальцами в колени.

– А я лежу под ним, не знаю, что делать. А он письку мне тискает. Тискал, тискал, потом встал и говорит – никому не рассказывай, а то в письке вши заведутся.

– А ты? – выпустила газы Веста.

– А я заплакала да и домой пошла. А через год его папаша елку устроил, ну и...

– Молчи... – напряженно выдохнула Веста, и ее кал стал падать в воду.

Горничная смолкла, отмотала от рулона туалетной бумаги недлинную полосу, сложила пополам. Веста снова выпустила газы. Легкий запах кала пошел от нее. Она выдавила из себя последнюю порцию и со вздохом облегчения встала. Горничная сноровисто подтерла ей оттопыренный упругий зад, кинула бумагу в унитаз, закрыла крышку, потянула никелированную ручку Забурилась вода, Веста присела на биде. Горничная подмыла ее, затем помогла почистить зубы, расчесала и заплела косу. Душ Веста утром никогда не принимала. Одевшись в коричневое школьное платье, с комсомольским значком на черном переднике, она вошла в столовую. Василий сидел за овальным столом, в синей школьной форме с желтыми латунными пуговицами, пил кофе и читал брошюру Рено де Жувенеля «Тито – главарь предателей».

– Salut, Vassili, – Веста села напротив, взяла из вазы очищенный апельсин. – Toujours en forme, hein?

– Здорово, – не отрываясь от книги, пробормотал Василий.

– Чего читаем?

– Хуйню, – он допил кофе и сделал знак слуге. – Политпросвет сегодня. Слуга наполнил его синюю чашку из синего кофейника, влил сливок и серебряными щипчиками положил кусок сахара.

– Ты мне на ночь тоже говно порядочное подсунул, – Веста впицась зубами в прохладную мякоть, всосала губами сок.

– Чего? – хмуро глянул он на нее. – Не понравилось?

– Скука смертная. Я думала – про любовь. А там жгут и режут, жгут и режут.

– Читай тогда «Анжелику», – он привстал, в три глотка выпил кофе и, похлопывая себя брошюрой по ляжке, вышел из столовой.

– Подожди, вместе поедем, – предложила она.

– Я дежурный! – крикнул он, проходя гостиную.

– Ну и дурак, – бросив недоеденный апельсин, Веста стукнула золотой ложечкой по вареному яйцу в керамической подставке.

Позавтракав, она дошла до прихожей, жуя chewing gum, протянула руки назад Горничная надела на нее коротенькую шубку из голубого песка, подала черный портфель. Сисул выпустил ее в первую прихожую, генерал Власик – на лестницу. Там ждали двое в

штатском из внешней охраны. Не обратив на них внимания, Веста села на полированное перило и съехала вниз.

На воздухе было солнечно и хорошо.

Один охранник распахнул заднюю дверцу бронированного черного ЗИМа, другой сел за руль. Веста не спеша заняла место сзади, бросила рядом на сиденье портфель:

– Ole!

Машина тронулась, выехала через Спасские ворота, повернула налево. Сменный караул печатал шаг к мавзолею Ленина, Голуби поднялись с Красной площади.

– Погоди, погоди... – замерла с открытым ртом Веста. Сидящий возле шофера охранник обернулся к ней

– Погоди, – она выплюнула chewing gum. Машина притормозила,

– Ты кто? – напряженно спросила Веста охранника.

– Петренко, Веста Иосифовна, – ответил тот.

– А зовут как?

– Николай.

– А... где же Иван?

– Хоботов? Он на больничном, Веста Иосифовна. Ангина у него.

Она внимательно посмотрела на Николая, потом за окно:

– А это что такое?

– Это музей Революции.

– И... что?

– Не понял. Веста Иосифовна

Она подозрительно смотрела на музей:

– Ну, там... разное, да?

– Там... экспозиция, – непонимающе пожал плечами Николай.

Шофер украдкой поглядывал на Весту в зеркальце.

– Знаешь... ты... это... – пробормотала она, уставившись в одну точку.

Охранник ждал, обернувшись. Веста молчала.

– Выпусти, выпусти меня! – вдруг воскликнула она. Охранник выскочил из машины, открыл дверцу. Веста вышла, осмотрелась, взяла его за руку:

– Пошли.

Он молча последовал за ней. Она вошла в только что открывшийся музей Революции, стала подниматься по лестнице.

– Ваши билеты, молодые люди, – поднялась со стула худая женщина.

Николай показал ей удостоверение, она села на место. Держа Николая за руку, Веста бесцельно вела его за собой по лестнице, бормоча что-то. Так они поднялись на самый верхний этаж, лестница кончилась.

– А это что? – хмуро посмотрела Веста на распахнутые двери последнего зала.

– Это зал подарков товарищу Сталину, – ответил Николай.

– От кого? – угрюмо буркнула она.

– От... – замялся Николай, – всех, кто любит вождя. Выпустив руку охранника, Веста недоверчиво вошла в зал. Николай последовал за ней.

– Неужели вы здесь не были? – осмелев, спросил он.

– Я? – она шла, словно в забытьи. – Нет... была...

В большом, хорошо освещенном зале стояли десятки самых различных изделий, когда-либо подаренных вождю правителями государств, монархами, миллиардерами, художниками, военачальниками, любовниками и любовницами, аристократами и пограничниками, дипломатами и актерами, колхозами и экипажами кораблей, рабочими коллективами и простыми гражданами

В центре зала на массивной плите из сине-черного Лабрадора возвышалась фигура Сталина, вырубленная уральскими камнетесами из глыбы розоватого, с золотистыми прожилками родонита. Вождь попирал ногой книгу Троцкого «Перманентная революция»,

а сам откидывал голову назад, собираясь победоносно расхохотаться над беспомощным мудрствованием козлобородого Иудушки. ЯСАУХ ПАШО! – было высечено на плите. Рядом сверкал изумительный бриллиантовый шприц – подарок Фаберже. Чуть поодаль возвышалась многопудовая книга Сталина «Свобода внутренняя и внешняя», сделанная кубанскими животноводами из кож 69-ти племенных быков и написанная кровью комсомольцев. Под стеклом лежало кружевное мужское нижнее белье, вышитое графиней Шереметьевой. Панно из моржовой кости, подаренное вождю якутами, изображало горячее соитие вождя с балериной Павловой. Другое панно – янтарное – называлось «Ленин и Сталин варят маковую солому в Разливе» и было подарком от рижских ювелиров. НЕТ ПОЩАДЫ ВРЕДИТЕЛЯМ! – теснились крепкие буквы на рукояти белого топора, спрессованного колумбийскими коммунистами, из чистейшего кокаина. Великий Мао преподнес вождю вырезанную из рисового зерна диораму «Казнь Бухарина на Красной площади в Москве». Миллиардер Рокфеллер подарил отлитую из золота шинель, в которой Отец Всех Народов защищал Москву от озверелых орд Гитлера. Алексей Стаханов – свой отбойный молоток. Долоресс Ибаррури – свою левую грудь. Вредитель Ягода – свое сердце.

– Погоди... – Веста подошла к родонитовому отцу и рассеянно положила руку на его холодный сапог. – А где... это...

– Что, Веста Иосифовна? – приблизился Николай.

– Ну... – она сделала неопределенный жест рукой, – этот... такой... большой.

– Большой? – переспросил Николай.

– Малиновый, малиновый, – сморщила лоб она, ища что-то глазами. – Ну-ка, ты... снимай, снимай...

– Что? – не понимал Николай.

– Снимай! Ну, снимай же! – она дернула его за брюки. Николай помедлил, но, встретившись с ее угрожающим взглядом, расстегнул свои серые, хорошо отутюженные брюки.

– И трусы тоже, дурак! – прикрикнула на него она. Николай повиновался. Она присела и внимательно посмотрела на его гениталии. По красивому юному лицу ее пробежала тень разочарования.

– Нет, – встала она, – это не малиновый. Итальянские замшевые туфли ее обиженно прошли по густо налакированному паркету зала и зацокали по мраморной лестнице.

– Sale pute! – всхлипнула она и вдруг разрыдалась на бегу совсем по-девичьи, громко и беспомощно. – Saleeee puteeee! Merde! Meeeeeerde!

Николай подхватил упавшие брюки и кинулся догонять ее.

Хрущев раскрыл чемоданчик, посмотрел на голубое сало:

– Почему же ты молчал весь вечер?

– Вернее – всю ночь, – улыбнулся Сталин, подходя к нему сзади и обнимая его. – Если бы я сразу показал тебе, ты уже не захотел бы меня. Ты захотел бы голубого сала.

Хрущев закрыл лицо руками, открыл и снова закрыл:

– В такие мгновенья я понимаю, что наш мир – это сон.

– Я это понимаю каждую минуту С раннего детства. Сталин поцеловал его горб, отошел и стал раскуривать сигару. На нем был черный китайский халат Хрущева.

Голый Хрущев сел на край кровати, сложил пальцы замком и озабоченно посмотрел на них:

– Мы потеряли время. Тебе надо было сразу ехать ко мне.

– С глыбой льда? Чтобы Берия обо всем догадался?

– Я уверен, он и так все знает.

– Mon cher, не стоит льстить Берии. Он не ясновидящий. Я все разыграл, как по нотам.

– Мы потеряли, потеряли время... verflucht noch mal! – Хрущев шлепнул себя по мускулистым коленям, вскочил и заходил по спальню.

Его длинные руки вцепились в волосатые бедра, горб угрожающе выступал из согнутой спины.

– Du calme, mon ami, – Сталин выпустил дым в раскрытый чемоданчик. – Время работает на нас.

– Они не дадут нам выехать! Обложат, как медведей в Архангельском... Берия уже снюхался с Жуковым. У них вся советская армия, плюс Лубянка! Этот petit con Жуков... Проблядь полковая! И эту гниду я спасал в 37-ом от Ежова! Они готовы на все, как ты не понимаешь?!

– Прошу тебя, возьми себя в руки... – Сталин любовался поглубевшим сигарным дымом, клубящимся в раскрытом чемоданчике.

– Почему ты не придумал ничего?! Почему не связался со мной из театра?! Надо было арестовать их всех в театре, всех, всех сразу! Мои ниндзя и черкесы сделали бы это за три минуты!

– В этом не было необходимости.

– У них сейчас, пока ты здесь, вся армия! Ты не понимаешь этого?! Вся армия, вся Россия, все МГБ в руках Берии и Жукова!

– А у нас в руках вся вселенная, – повернулся к нему Сталин. – Вся вселенная поместится в этом чемоданчике.

– Ты не успеешь им воспользоваться!

– Успокойся, они ничего не знали и не знают. Я ведаю, что говорю.

– Schweine... verdammte... Schweine!!! – закричал Хрущев сильным голосом.

Сталин подошел к нему, обнял:

– Mon ami, умоляю тебя. Все будет хорошо.

– Не верю... не могу поверить, что эта гнида Берия...

– Все будет хорошо, – Сталин посмотрел в налившиеся кровью глаза графа. – Это говорит тебе Сталин. Ты веришь Сталину?

Хрущев ответил угрюмым и недоверчивым взглядом.

– Ты веришь Сталину? – снова спросил вождь.

– Верю... – нехотя пробормотал Хрущев, отводя глаза. Сталин взял его за острый подбородок, повернул лицо к себе:

– Ты веришь мне?

Хрущев долго смотрел в немигающие глаза цвета крепко заваренного индийского чая, затем обмяк, взял руку Сталина и поцеловал:

– Верю, Иосиф.

– Вон. Тогда собирайся.

Сталин подошел к телефону, снял трубку:

– Кремль. Квартиру Сталина. К телефону подошел Сисул:

– Алэ?

– Сисул, где наши?

– Зыдыраствуετε, хозяин. Дэти в школа, Надэжда спит дома.

– Пошли за детьми срочно.

– Здэлать, хозяин.

– Надю разбуди, скажи ей: «Баран».

– Как – баран, хозяин? Какой баран?

– Просто – баран. Она знает какой. И пусть к двенадцати все будут готовы.

– Здэлать, хозяин.

Сталин положил трубку, подошел к своей, лежащей на кровати, одежде, скинул халат и стал быстро одеваться.

– Какой изумительный цвет... – Хрущев склонился над чемоданчиком. – Цвет четвертого начала термодинамики...

– Ты не романтик. Это цвет *другого* .

– Для меня *другое* – это новое.

- Новое – это новое. А *другое*, *mon cher*, это – *другое*. Сталин застегнул сорочку, сел, стал натягивать длинные черно-красные носки.
- 16 лет... – Хрущев подошел к погасшему камину, зябко обнял себя за плечи.
- Шла эта посылка?
- Да. Почта времени, наверно, самая долгая. И самая дорогая...
- Помнишь, как мы с тобой читали их кожаную книгу?
- У тебя на «ближней»? В бане? В ванной комнате?
- Ты предлагал накрыться одеялом и читать при свете фонарика. Великий конспиратор!
- Я тогда задушил охранника...
- Который вошел не вовремя? – Сталин встал, натягивая узкие брюки.
- Как сейчас помню его молодой кадык... – Хрущев устало провел рукой по лицу. – Знаешь... скажу тебе честно. Я никогда не верил, что это все – правда. Я думал, это какая-то громадная фальшивка... ловушка. Но логики ее не мог понять. И кому это выгодно – тоже не понимал. Немцам? Американцам? Японцам?
- А я верил с самого начала. Как только увидел этого рогатого мальчика, – Сталин надел жилет, подошел к туалетному столику с овальным зеркалом, взял свое ожерелье с изумрудом и стал надевать себе на шею.
- Позволь, ангел мой... – Хрущев подошел к нему, застегнул ожерелье и аккуратно расправил вокруг воротника сорочки.
- Лица двух друзей отразились в сорока двух гранях изумруда.
- *Tu ne peut pas t'imaginer combien tu m'est cher, mon ami*, – проговорил Сталин, глядя в зеркало.
- *Un ermite comme moi aime a entendre de telles choses*, – Хрущев медленно поцеловал белое шелковое плечо вождя.

За время пребывания у власти Сталин только дважды пользовался своим секретным аэродромом: 22 июня 1941 года, когда вылетал в Пекин для заключения военного альянса против Германии, и 6 января 1946 года, сразу после совместного советско-германского атомного удара по Англии. В то морозное январское утро Сталин пролетел над испепеленным Лондоном, чтобы лично убедиться в наступлении атомной эры, так как до последнего не верил в мощь нового оружия.

В подземном аэродроме «Раменки», расположенном неподалеку от Воробьевых гор, в любое время суток стояли наготове два самолета вождя – основной и запасной. Охрана, технические службы аэродрома и экипаж подчинялись лично Сталину.

В 13.20 на унылом пустыре в районе Мичуринского проспекта земля с полусгнившими бараками и хилыми деревцами разошлась, четырехмоторный ИЛ-18 вылетел из громадного бетонного зева и взял курс на запад, следуя секретному плану «Баран».

В самолете помимо экипажа, Сталина и Хрущева находились: Надежда Аллилуева, Веста, Василий и Яков Сталины, Сисул, Аджуба и четверо ниндзя из охраны Хрущева.

Главный салон, обтянутый кремовой лайкой и отделанный карельской березой, был просторным и уютным. Солнце ярко светило слева в иллюминаторы, дробилось в хрустальных графинах с напитками, сияло на шарах и позолоченных лунках бильярда, в украшениях женщин, радужно-торжественно сверкало в гранатово-бриллиантовом аграфе, украшающем темно-синий бархатный берет Хрущева, и в рубиновом набалдашнике платиновой трости Сталина.

Под монотонное гудение моторов Василий и Яков быстро задремали. Хрущев пил виски «Chivas Regal», поглядывая в иллюминатор. Сталин курил неизменную «Гавану». Надежда читала журнал «Новый мир». Веста вязала шерстяную «трубу» для левретки, спящей у нее на коленях.

- Пределы... пределы... – пробормотал граф, откидываясь на спинку кресла и трогая пальцем лед в стакане с виски. – Слишком большая страна у нас, Иосиф.
- Это достоинство, а не недостаток, – Сталин пускал дым в полукруглый потолок.

– Вот уж не знаю... – вздохнул граф. – «От мысли до мысли тыщу верст скакать».  
Вяземский был прав.  
– В его времена не было авиации. И атомного оружия, – Сталин нажал кнопку в подлокотнике кресла.  
Бесшумно вошел Сисул. Сталин показал ему тростью на графин с абрикосовым ликером, и узкая рюмка с густой яркой жидкостью оказалась в левой руке вождя.  
– Переизбыток пространства порождает проблемы, – зевнул Хрущев.  
– Проблемы порождаются не пространством, а людьми. Ими же и разрешаются, – отпил из рюмки Сталин.  
– И это разрешение затягивается на десятилетия,  
– При слабой власти, *mon cher*.  
– Странно... – вздохнула Надежда, прерывая чтение.  
– Что, радость моя? – спросил Сталин.  
– Какие-то странные вещи печатают нынче наши литературные журналы.  
– Ты находишь?  
– Вот, например, новая пьеса Симонова. Очень странная. Я бы не пошла на такую.  
– Ну... театр не должен стоять на месте. Это живой жанр, – заметил Сталин. – Я, например, не понимаю Ионеско. Но его любят миллионы. С этим надо считаться. Симонов тоже очень популярен.  
– Наверно я сильно поглупела за последние годы. Для меня лучше Чехова в театре нет ничего.  
– Ты у нас, мамочка, умнее всех, – не отрываясь от вязания, сказала Веста.  
– Сомневаюсь... – с улыбкой вздохнула Надежда. – Жена вождя не понимает современной драматургии. *Quelle horreur...*  
– А что за пьеса? – повернул к ней свое тяжелое носатое лицо Хрущев.  
– Называется «Стакан русской крови». Хотите, я вам прочитаю?  
– Большая? – смотрел на ее красивые руки Хрущев.  
– В четырех действиях.  
– *That's too much...* – поморщился Хрущев.  
– Граф, не бойтесь, все я не смогу прочесть, – усмехнулась Надежда.  
– Радость моя, прочти нам первое действие, – задумчиво попросил Сталин.  
– Только с выражением, мамочка. Как Тарасова.  
– С выражением я не умею, Веста. Итак... Она полистала страницы «Нового мира» и начала читать своим приятным, живым голосом:

**К. Симонов**  
**Стакан русской крови**

**Пьеса в четырех действиях**

Действующие лица:

Миша Бронштейн, молодой архитектор.  
Рита Варейкис, молодая скрипачка, его подруга.  
Иван Бородулин, рабочий-метростроитель, сосед Риты.  
Никита Иванович, кокаинист.  
Георгий Валентинович Мезенцев, полковник в отставке.  
Князь Александр Михайлович Нащекин, изобретатель.  
Сергей Шаповал, капитан МГБ.  
Ефрем Рутман, банкир разорившегося банка.  
Глеб Борисов, его любовник.

## Действие первое

*Большая московская квартира Риты Варейкис со старомодной довоенной обстановкой. Вечер. Рита играет на скрипке партитуру Баха. Входит Миша Бронштейн. Его пальто испачкано землей и известкой; клетчатый шарф выбился из-за ворота.*

РИТА (*прекращает играть, напряженно смотрит на Мишу*). Ты?

МИША (*снимает шляпу, бросает на диван*). Как видишь.

РИТА. Но... ты же в Витебске? Боже!

МИША. Не урони скрипку (*подходит, устало обнимает Риту, целует ее*).

РИТА. Неужели?

МИША. Да! Да! Да!

*Стоят, обнявшись.*

РИТА. Я сегодня видела странный сон. Странный и страшный. Я целый день думаю о тебе... ничего не могу делать... играла, как дровосек... Нет! Не может быть!

МИША. Может, милая. (*Забирает у нее скрипку и смычок, кладет на рояль*). Прижмись ко мне. И ты сразу поверишь.

РИТА (*прижимается к нему, обхватив руками за шею*). Это... здесь?

МИША. Крепче. Крепче!

РИТА. Да... вот. Я умру сейчас...

МИША. Мы вместе умрем.

РИТА (*просовывает руку к нему под пальто, трогает*). Да... да... о, эта теплота... эта... невероятная теплота...

МИША (*прижимает ее руку своей*). Теперь ты веришь?

РИТА. Я умру сейчас, милый... я умру, Мишенька...

МИША. В поезде я считал секунды... сидел и смотрел на часы... (*Устало и нервно смеется*). Пассажиры косились на меня! Думали, что я сумасшедший.

РИТА. Солнце мое... я обожаю тебя (*целует его*).

МИША (*освобождается, подбегает к окну, задергивает штору*). От всех! От всех закрыться! Боже... как я устал... (*Садится на пол*). Я не спал сутки. Закрой! Запри все! Я... кажется дверь не запер...

РИТА (*выбегает, возвращается*). Все заперто, милый. Нам никто не помешает.

МИША. Где Иван?

РИТА. Он в ночную сегодня.

МИША. Слава Богу.

РИТА. Нет... (*смеется*) ...нет, нет!

МИША. Что?

РИТА. Я не верю, что ты здесь. Это первое.

МИША (*трогает грязными руками ее лицо*). А второе?

РИТА. А второе: я не верю, что ты принес.

МИША (*молча трогает ее лицо*). Я и сам не верю. Каждый раз.

*Пауза.*

РИТА. Начинать?

МИША. Погоди. Не хочется торопиться. Мне всегда кажется потом, что мы все сделали наспех, что мы спешили...

РИТА. Я... уже вся дрожу. Посмотри, у меня зрачки широкие?

МИША. Да.

РИТА. У тебя тоже. Во все глаза... У тебя страшные глаза каждый раз. Начинать?

МИША. Минуту, еще минуту... минуту. Давай растянем, давай чуть-чуть помедлим...  
(*Мучительно трет свое лицо ладонями.*) Вся жизнь мы куда-то торопимся... и самое приятное делаем наспех. Словно в будущем будет еще лучше.

РИТА. Как сердце бьется... давай, я что-нибудь... ты хочешь чаю?

*Миша смотрит на нее. Они смеются.*

РИТА. Прости, милый.

МИША. Ты много занималась сегодня?

РИТА. Не очень. Руки с утра тяжелые. Играла из ряда вон. Партита еще ничего, а концерт – ужасно. Остается неделя, а я совершенно не готова.

МИША. Ты все сделаешь. Ты сильная. Скажи, а что Семен? Как его Брамс?

РИТА. Ну, Сеня – regretium mobile. У него не может быть провалов. Дома он работает, как часы. Встает в восемь. Два часа играет, потом прогулка, потом опять два часа, потом ланч. Потом – час. А потом он едет к Вере, и они занимаются любовью. И идут обедать в «Три короны». Спит ночью он всегда один. Наркотиков почти не употребляет. Курит умеренно. По субботам ездит верхом... Очень правильный образ жизни для профессионального музыканта. Хотя, последнее время мне не нравится его игра. Слишком рационально, слишком академично. Особенно Брамс. Как-то... нет нерва, нет... разлома какого-то. Романтики не были так академичны. То что хорошо для Гайдна – вовсе не годится Брамсу. А Брамс... (*Встает.*) Я не могу больше! Я не могу! Я не могу больше!

МИША. Хорошо... не волнуйся... хорошо. Начнем.

*Раздеваются догола. Рита достает из буфета два стакана и черную скатерть; накрывает стол скатертью, ставит на нее стаканы и свечу в подсвечнике; Миша зажигает свечу, тушит свет; из тайного внутреннего кармана своего пальто вынимает резиновую грелку с трубкой; на конце трубки надета игла от шприца. Рита и Миша садятся за стол напротив друг друга.*

МИША (*кладет грелку перед собой*). Вот... не остыла еще

РИТА (*протягивает руки, кладет на грелку*). Теплая... совсем еще... ты так и ехал с ней в обнимку? Из Витебска?

МИША. Да. Сидел, держал ее под пальто... а соседка, старушка, спросила: «У вас живот болит, молодой человек?»

РИТА (*нервно смеется*). Живот болит! Живот болит! Боже мой! Живот болит... Милый, а можно...

МИША (*перебивает*). Нет, не спеши. Сейчас. (*Считает.*) Раз, два, три.

*Открывает грелку, осторожно наклоняет над стаканом, из грелки в стакан льется кровь; Миша аккуратно разливает всю кровь в два стакана и кидает грелку на пол.*

РИТА (*с болью в голосе*). Меньше стакана,

МИША. Чуть-чуть не хватило... но, ничего.

РИТА. Жаль... а почему меньше?

МИША. Потому что. (*Зло смотрит на нее*). Мы же, кажется, договорились?

РИТА (*трясет головой, нервно вздрагивает и часто дышит*). Нет... я просто... хотя... (*Кричит*.) Почему?!

МИША. Я убью тебя!

РИТА (*всхлипывает*). Милый... нет! За что нам?! Нет! Нет! Нет!

МИША (*трясется от ярости*). Я разможу тебе голову, дрянь! Замолчи!

РИТА. Ты... ты всегда! Всегда! Я не могу!

МИША (*кричит*). Молчать!!

*Рита смолкает и сидит, вздрагивая, сцепившись руками в стол. Миша ждет, затем ставит перед ней стакан с кровью. Рита обнимает его дрожащими ладонями и неотрывно смотрит. Миша придвигает свой стакан к себе поближе. Они долго сидят молча.*

МИША. Надо... чтобы... (*пауза*)... все шло... плавно... плавно... (*Отпивает из стакана.*)

РИТА (*смотрит на него, поднимает свой стакан и залпом выпивает* ). Ааа... слева... все слева... мама...

Миша маленькими глотками допивает кровь. Рита жадно смотрит на него. Он оставляет последний глоток ей, протягивает стакан. Она допивает, держит стакан над собой, запрокинув голову, ловит губами капли крови.

МИША. Дома... (*тяжело улыбается* ) ...дома...

РИТА. Это... не тяжелая... там... совсем нет. Нет?

МИША. Нет. И не будет.

РИТА. Тебе... тебе совсем?

МИША. Совсем. Я люблю тебя.

РИТА (*рыгает, смеется* ). Странно...

МИША. Что, милая?

РИТА. Почему – только русская кровь?

МИША. Никто не знает.

РИТА. Только русская! Не татарская, не калмыцкая...

МИША. Не грузинская... и даже не армянская... плавно... плавно... (*закрывает глаза* )... все плавно... белые...

РИТА (*берет его руки в свои* ). Расскажи, Расскажи. Расскажи.

МИША (*не открывая глаз* ). Он недавно нанялся. Тромбовальщиком. Бывший зек. Сидел за воровство. Рассказывал немного про Туруханский край. Как там ноги потерял.

РИТА. Он безногий?

МИША. А... я не сказал сразу?

РИТА. Ты не сказал сразу

МИША. Да. Безногий. В Туруханске был их лагерь. Он работал на пилораме. И блатные проиграли его в карты.

РИТА. Как это?

МИША. Ну, если играть больше не на что, уголовники играют на людей... белые... белые... на живых теплокровных людей...

РИТА. А причем здесь ноги?

МИША. Они отрезали ему ноги на пилораме.

РИТА. Зачем?

МИША. Затем, что проиграли его в карты.

РИТА. А причем здесь ноги? Они же его проиграли. А не ноги.

МИША (*некоторое время молчит, закрыв глаза* ). Ноги им были не нужны. Им нужно было просто их отрезать.

РИТА. А он? Он им был нужен?

МИША. Он... он... им не был нужен. Он был нужен мне.

РИТА (*счастливо смеется* ). Я ничего не понимаю... ха-ха-ха! О, как я давно не была у мамы!

МИША (*качает головой* ). Нет... все не так плавно... не все блестит...

РИТА. У нее опять звон в ушах. Говорят, это следствие звуковой травмы. Но она никуда не выходит. Откуда у нее звуковая травма?

МИША. Радио. Радио. Оно сейчас развивается... дикими, страшными темпами. Радио может все. Оно... даже может проникать в человеческие тела...

РИТА. И в кровь?

МИША. И в кровь.

РИТА. Как это возможно?

МИША. Волны... радиоволны... (*открывает глаза* )... Он тромбовал бетон под фундамент. Лучше любой машины. Залезал в свежую заливку, рабочие протягивали ему шест. Он хватался за шест руками, а нижним торсом своим начинал... так вот... быстро и тяжело вибрировать... трястись так... быстро и тяжело...

РИТА. Как эпилептик? Или... как испуганный, смертельно испуганный человек? У нас когда выгоняли Покревскую, она тряслась. Так тряслась, так тряслась... я никогда... никогда...

МИША, Он трясся, как... не знаю... возможно это никто не может объяснить...

РИТА. Он был веселый?

МИША. Нет.

РИТА. Почему?

МИША, Не знаю. Он много страдал.

РИТА. Понимаешь, это, на самом деле, не важно. Человек может много страдать или внутренне все время мучиться, а при этом, как... ну... как бывает, да?... при этом быть и оставаться... весельчаком. И порядочным человеком. Очень порядочным.

МИША. Не знаю. Не уверен. Порядочными людьми рождаются. А не становятся. Как дядя Мотя.

РИТА. Ну, дядя Мотя! Как можно сравнивать дядю Мотю и этого... как... вибро... трясущийся...

МИША. Тром-бо-валь-щик. Запомни. (*Серьезно смотрит ей в глаза* .) Это очень важная профессия. Особенно теперь... в наши дни... когда нам приходится строить... возводить разрушенное... то, что унесла война... и надо строить, строить, строить... очень много строить. По всей стране. А страна у нас большая.

РИТА (*зажмуривается* ). Огромная! Мне иногда даже страшно! Представляешь, когда в Москве утро – во Владивостоке уже полночь. Люди ложатся спать, разбирают постели, укладывают детей.

МИША. И стариков. Старики ведь – как дети.

РИТА. Они беспомощны!

МИША. Очень. Иногда... (*вздыхает* ) это противно.

РИТА. Нет!

МИША. Очень. Что-то... страшное такое...

РИТА. Смерть?

МИША. Нет, нет. Нет. Смерть... это смерть....

РИТА. А он... русский?

МИША. А как ты думаешь?

РИТА (*смотрит на Мишу, потом на стакан, смеется и качает головой* ). Я дура... извини.

МИША. Ничего.

РИТА. Ну, а что потом было?

МИША. Когда?

РИТА. Ну... он тромбовал, тромбовал... этот... вибро...

МИША (*машет рукой* ). Ах, да... я недорассказал... значит, он работал в бригаде Дурова, и...

РИТА. Это... родственник Дурова?

МИША. Какого?

РИТА. Ну, который со зверями... кувырки там разные... заяц барабанит... очень смешно... а я второй раз не пошла, свинкой болела.

МИША. Да нет... Дуров... это простой такой мужик... ну, работяга такой. Туповатый, но... дело знает. И вот, представь, работал этот у него... и я... знаешь... я всегда чувствую потенциальных доноров. Всегда. Это как... чувство цвета... или... нет, это, как абсолютный слух. Вот, смотри, (*чокается своим пустым стаканом со стаканом Риты* ) ... какая нота?

РИТА (*щурится* ). Ну... фа, фа-диез... но у меня не абсолютный слух. Вот у Мамедовой Зойки – с рождения. И память – фе-но-ме-нальная! Фе-но-ме-нальная! За спиной что-нибудь сыграй – она сядет и сразу запишет. А скрипачка посредственная. Вот загадка жизни!

МИША. Я с ним сразу разговорился... и понял – солью с него. Много не будет, но пол-литра – солью! Сто процентов!

РИТА (*сползает со стула на пол, садится рядом с грелкой, берет ее в руки* ). А... это... было пол-литра?

МИША. Почти... почти... (*нюхает стакан* ) почти поллитра... сто процентов...

РИТА (*вертит в руках грелку, вытягивает пробку, сует в грелку палец, потом облизывает его; повторяет это движение* ). А... почему... всего пол-литра?...

МИША. Рит, ну мы же говорили с тобой... и не раз...

РИТА. Почему? Тебе... жалко слить чуточку побольше?

МИША (*со вздохом трясет головой* ). Опять – двадцать пять... Ты не понимаешь?

РИТА. Почему... ты не думаешь обо мне...

МИША. Я завел его в арматурную... когда перерыв был на обед... и напоил портвейном с барбиталом... он выпил почти бутылку...

РИТА. Ты никогда... не думал обо мне... (*раскачивается, прижав грелку к лицу* )... никогда...

МИША. Он заснул... быстро заснул... а я из паховой вены слил у него... но, сливать больше – опасно! Как ты не понимаешь элементарных вещей? Ты – человек с высшим образованием! Ты восемнадцать лет училась! Восемнадцать лет! И не можешь понять!

РИТА (*оторопело смотрит на него, потом встает, подходит с грелкой в руке, опускается на колени перед Мишей* ). Мишенька... я еще хочу

МИША. Рита... (*Морщась, трясет головой* ) Рита...

РИТА. Мишенька... умоляю тебя...

МИША. Рита.

РИТА. Мишенька... я не буду больше... но... я умоляю...

МИША. Рита! Прекрати! Прекрати!

РИТА. Я очень хочу... (*плачет* )... очень... очень...

МИША. Ты хочешь мучить меня?

РИТА. Умоляю! Умоляю! (*Хватает его за ноги* )

МИША, Рита, я обижусь. Я серьезно... обижусь...

РИТА. Милый! Родной! Умоляю! Умоляю!

МИША. Я... уйду сейчас. Ты этого хочешь?

РИТА. Умоляю! Ну, если я умоляю?! Если я, я, я умоляю тебя?! Умоляю тебя?!

МИША (*встает, шатаясь идет к вешалке* ). Рита... я не понимаю таких вещей... Тогда вообще... не надо ничего делать... и не надо вместе делать...

РИТА (*ползет за ним* ). Ну... почему мои слова... почему я... и все, все мое... ничего для тебя... совсем ничего? Совсем – пустое место? Я – пустое место? Я – пустое место? (*Рыдает* )

МИША (*надевает пальто на свое голое тело* ). Ты знаешь... я человек принципов... я не умею лгать... и не умею... вести... так вот... я этого не умею... и не умел никогда...

РИТА (*ловит его руками за полу пальто* ). Я... я для тебя – что? Ответь! Что я для тебя?!

(*Рыдает* ) Что я такое для тебя?! Что я? И кто я? Я... мешок... мешковина? Я мешковина? Так? Как тогда? Как у Федоровых на елке?! Я кусок ваты?! Да?! Да?

МИША. И я... никогда не пойму таких... людей... для меня есть... люди... и есть нелюди... есть... культура поведения... а такого я не пойму... никогда...

*Миша берется за ручку двери, поворачивает ключ, Рита хватается за ноги и истерично кричит, не пуская. Вдруг раздается хлопок двери в прихожей и насвистывание. Рита и Миша застывают.*

РИТА (*шепотом* ). Это... Иван.

МИША (*шепотом* ). Почему? Почему?

ИВАН (*за дверью, в прихожей* ). Ау! Ритка! Ты дома?

МИША (*шепотом* ). Молчи!

РИТА (*смотрит на Мишу и неожиданно отвечает* ). Да!

ИВАН. Законно! Жрать хочу – умираю! Слышь, у нас плавун прорвало! Полстанции – под водой! Гуляем до понедельника, родимая мама! Рит! У тебя хлеб остался?

РИТА. Да!

ИВАН. Живем! (*Шумно, со свистом раздевается* .)

МИША (*яростным шепотом* ). Ты... хочешь погубить?! Погубить?!

*Рита ползет к шкафу, открывает, достает утюг, протягивает Мише* .

МИША (*шепотом* ). Ты с ума сошла! Ты с ума сошла!

РИТА (*шепотом* ). Он русский. Он русский. Он русский.

ИВАН. Слышь, Ритка, а может у тебя и выпить найдется?

РИТА. Да!

ИВАН. Вот, что значит – интеллигенция! (*Подходит к двери Риты, стучит* .) К вам можно, мадам?

РИТА. Да!

*Встает с пола, кидает утюг Мише; он ловит утюг. Рита отпирает дверь, распахивает ее. На пороге стоит Иван. Голая Рита смотрит на него и пятится вглубь комнаты.*

*Стоящий за дверью Миша поднимает утюг над головой* .

РИТА. Да! Да! Да!

*Иван входит в комнату.*

– Довольно, радость моя, – со вздохом разочарования произнес Сталин.

– Странная пьеса для Симонова, правда? – закрыла журнал Надежда, – Хотя, я не знаю... может в конце там совсем другое... но тема, тема. Странно, да?

– Ничего странного, – заговорил, глядя в иллюминатор, Хрущев. – Когда писатель шесть раз получает Сталинскую премию, он волей-неволей начинает перерождаться. А тема... ну, так это же – злоба дня. После «дела врачей» все советские литераторы как с цели посрывались: евреи и кровь, евреи и кровь. Безусловно, это две большие темы, но трактовать их так примитивно, так вульгарно...

– Дело вовсе не в шести Сталинских премиях, – потушил сигару Сталин. – У каждого писателя бывают взлеты и падения. Симонов слишком долго хорошо писал.

– Он такой некрасивый, – заговорила, вяжущая, Веста. – Маленький, пузатый, глаза косые, картавит. А пишет так хорошо о любви... «Я любил тебя всю, твои руки и губы отдельно». Натали Малиновская всего Симонова наизусть помнит. А что потом там, в этой пьесе? Убили они этого русского Ивана?

– Я не дочитала до конца, – Надежда взяла стакан с яблочным соком, отпила. – Все-таки Фадеев прав: тема шприца была, есть и будет главной в советской литературе. Других равнозначных ей тем пока нет.

– К сожалению, – кивнул Сталин, встал и потянулся, – А не закусить ли нам? Лететь еще часа два.

– Я не против, – потрогал свой огромный нос Хрущев.

– Папочка, а куда мы летим? – спросила Веста.

– Что бы ты хотела съесть, ангел мой? – спросил Сталин, кладя ей руку на голову.

– Тянитолкая, папочка, – подняла Веста свое красивое юное лицо.

О вылете Сталина с секретного аэродрома в неизвестном направлении Берия доложили сразу Министра Госбезопасности удивил не сам факт вылета, а перечень лиц, следующих со Сталиным.

Всякий раз, когда Берия сталкивался с чем-то необъяснимым, не укладывающимся в логику его умозаключений, он впадал в странное оцепенение, словно ужаленный невидимой змеей.

Сидя в своем небольшом лубяном кабинете, со вкусом отделанным янтарем и розовым деревом, он не отрываясь смотрел на листок с оперативным сообщением, перечитывая сухие строчки снова и снова.

– Хрущев и Сталин, – думал он вслух. – Но причем здесь семья? Сталин и семья. Но причем здесь Хрущев?

Погасшая папироса лежала на краю янтарной пепельницы. Янтарные часы показывали 14.10. Солнце ярко светило в пуленепробиваемые стекла кабинета.

Берия положил листок на стол и снял трубку одного из восьми янтарных телефонов:

– Абакумова и Меркулова ко мне,

Вскоре в кабинет вошли два его самых близких и самых одаренных помощника: лысоватый, стройный, улыбчивый князь Абакумов в отличном темно-синем костюме с желто-голубым галстуком, в темно-синих перчатках, сжимающих легкую трость, с неизменными дымчатыми очками в черепаховой оправе, и коренастый смуглолицый атлет Меркулов в мундире генерала-полковника.

После сорокаминутного разговора Берии стало окончательно ясно, что причина столь необычного вылета Сталина заключена в чемоданчике с голубым веществом.

– *Он* что-то знает о нем. Больше, чем мы, – заключил Берия. – Значит, наша информация в этом деле не полная.

– Но все материалы хранятся у нас, *patron*, – Абакумов вставил в костяной мундштук папиросу, закурил, – В кожаной книге не было ничего сказано по поводу голубого вещества.

– Значит, ему подсказали ученые, – холодным, ничего не выражающим взглядом посмотрел на Берию Меркулов.

– С трех ночи до утра? Маловероятно, – Берия снял пенсне и стал протирать его замшевой тряпочкой. – После ужина он сразу поехал к Хрущеву. С учеными он не общался.

– *Patron*, есть одна возможность. В кожаной книге нет нумерации страниц. До революции она хранилась в III отделении. Возможно, что часть страниц...

– Я думал об этом, – Берия встал и заходил по кабинету. – Я уже думал об этом... Но все равно, если бы страницы попали к нему, он обратился бы к экспертам.

– Он никогда близко не общался с физиками, Только с химиками и с гуманитариями, – заметил Меркулов. – В среде химиков для МГБ нет темных мест. С физиками сложнее. Они не так актуальны для страны, поэтому мы в меньшей степени осведомлены.

– Физики, как и другие ученые, не живут изолированно. Они обмениваются идеями. Вспомните историю атомной бомбы: ее собрали и впервые применили немцы, а придумали итальянцы. Я не верю, что наши физики ничего не знают об этом голубом веществе.

– *Patron*, а может быть это вещество важно не физикам и не химикам, а биологам, например? Или электронщикам?

– Возможно. Но я знаю *его* логику. Он метафизик. Если он столкнется с чем-то непонятным, то в первую очередь обратится к представителям фундаментальных наук. Биология для него – не фундаментальная наука. Тем более – электроника.

– Он дважды ужинал с Лебедевым, – сказал Меркулов.

– С каким?

– С физиком-оптиком.

– С тайным экспертом он никогда не стал бы ужинать, – Берия подошел к столу, нажал кнопку янтарного вентилятора; желтые лопасти слились в мутноватый круг, разгоняя папиросный дым. – Он встретился бы с ним, получил заключение, а потом убил бы его.

– В ежовское время погибло много известных физиков, – Меркулов достал плоскую серебряную коробочку с кокаином, понюхал.

– Это могло случиться и до Ежова. И после, – Берия хрустнул своими длинными пальцами. – Мне нужно. Первое: точное место приземления самолета. Второе: быстрая информация от ученых-фундаментальщиков.

- Мы ведем самолет, товарищ Берия, – вытер нос платком Меркулов, – а вот насчет быстрой информации... Он переглянулся с Абакумовым.
- Займитесь Сахаровым, – Берия достал из ящика стола и распечатал новую пачку папирос «Тройка».
- Patron, но вы же сказали – после праздников? – поправил очки Абакумов.
- После праздников будет поздно, князь, – Берия закурил и с наслаждением подставил свое лицо под струю воздуха.

Академика Сахарова арестовали в МГУ в 15.22, когда он, проведя, как всегда, бурный, «непричесанный», по словам профессора Мигдала, семинар для аспирантов кафедры теоретической физики по теме «гнилые кольца времени», стремительно вышел из душевой, еще дышащей жаром дискуссии аудитории и, удовлетворенно шевеля своими большими, толстыми, испачканными мелом пальцами, направился в туалет.

Через час его мускулистое тело мастера спорта по вольной борьбе висело на дыбе в бетонном подвале Лубянки,

Сахарова допрашивал знаменитый Хват – живая легенда МГБ, дважды Герой Советского Союза, следователь по делу зловещего вредителя Вавилова, посвятившего свою жизнь выведению «быстрой спорыньи» и заразившего ею кубанскую пшеницу

Маленький, сухой и подвижный Хват сидел за своим, известным каждому сотруднику Госбезопасности, «подноготным» столом, курил трубку и ждал, пока подвешенный перестанет кричать. На застеленном коричневой клеенкой столе лежали многочисленные приспособления для пыток в области ногтей Симпатичная черноглазая стенографистка примостилась в углу за маленьким столиком.

Наконец голое, мокрое от пота тело академика перестало дергаться, и вместо крика из его перекошенного дрожащего рта обильно потекла слюна.

– Ну, вот и славно... – Хват выбил трубку, натянул черные кожаные перчатки, встал и подошел к подвешенному. – Знаешь, Сахаров, я люблю работать с учеными. Не потому, что вы слабее военных или аристократов. А потому, что глубоко уважаю ваш труд. Это у меня с детства. Я в Таганроге вырос. Семья у нас была – семеро по полкам. Отец – работяга запойный, мать прачка. Жили в огромном коммунале – сто квартир, один сортир. Чего там я только не насмотрелся. И мордобой, и пьянство, и ебля беспробудная, не разберешься кто в кого сует. Но было одно светлое пятно. Жилец. Возле самого сортира. Маленькая комната. Шесть метров. Очкарик. Студент. Математик. Сам невзрачный. Прыщавый. Одет аккуратно, но в обноски. Голос слабый, гайморитовый. Зайдет, бывало, на кухню: «Товарищи, могу я попросить кружку кипятка?» И все наши громилы татуированные, все лахудры неподмытые, все старухи скрипучие – враз притихнут. Почему – не понятно. Я бывало, как проснусь, из сортира выйду, подойду к его двери, к замочной скважине нос приложу, потяну Запах. Необычный. Умным человеком пахло. Приятнее этого запаха для меня тогда ничего не было. С ним в ноздрах я и в органы пришел. Я и сейчас умных людей по запаху отличаю. Вот ты, например, – Хват понюхал блестящие от пота ягодицы академика, – тоже умный. Да и Вавилов был умный. И Виноградов, И Вовси. И Пропп. И тем обиднее мне, Сахаров. Тем больнее.

Он вернулся к столу, взял тонкую папку дела, открыл:

– Посмотри, до чего ты додумался. Время – качан капусты, а все события – просто тля, его разъедающая. Ебёна мать! Это как в том еврейском анекдоте: «И с этой хохмой этот поте едет в Бердичев?», – Хват переглянулся с улыбнувшейся стенографисткой. – Качан капусты! Сколько ты получал в университете?

– Шесть... ты... тысяч... – прохрипел Сахаров.

– Шесть тысяч, – кивнул Хват. – И пять в конверте, как академик. Одиннадцать штук. Не хуй собачий. И чем же отплатил академик Сахаров советскому народу за такую охуительную зарплату? Концепцией «время – качан капусты». ёб-ти хуй! Значит, и революция, и гражданская война, и первые сталинские пятилетки, и Великая

Отечественная, и подвиги советских солдат, и героическое возрождение разрушенного народного хозяйства, и сталинская медикаментозная реформа, и его бессмертная теория Внутренней и Внешней Свободы, – все это только полчища тли на гнилом капустном листе, мандавошки, блядь какие-то!

Он кинул папку на стол, склонился над «подноготными» инструментами, выбирая:

– Вавилов был страшной гнидой. Я поседел в тридцать лет, пока расколол его, Но он был явный вредитель. Вредитель по убеждению. Ты же – вредитель тайный. Не по убеждению, а по гнилой антисоветской природе твоей. Господь дал тебе умную голову, здоровое тело. Великий Сталин – цель в жизни. Советский народ обеспечил идеальные условия для работы. А ты, сучий потрох, за все это попросту насрал. И Господу, и Сталину, и народу.

– Но... я... де... лал бомбу... – прохрипел Сахаров.

– Бомба – бомбой. А время... это – время. Выбрав две похожие на наперстки насадки, Хват завел в них пружины, капнул азотной кислоты и надел набольшие пальцы ног академика. Насадки зажужжали. Тончайшие иглы вошли Сахарову под ногти, впрыснули кислоту Он мускулисто качнулся, словно зависший на кольцах гимнаст, и закричал протяжным криком.

Через 28 минут, исходящий розовой пеной, Сахаров вспомнил, как летом 49-го в санатории «Красная Пицунда» подвыпивший Курчатов рассказал ему о странной гибели профессора Петрищева, «потрясающе талантливого, но еще до войны свихнувшегося на проблеме чего-то голубого». Петрищев, один из ведущих отечественных термодинамиков, сделавший быструю и блистательную карьеру, ставший в 25 лет профессором, написавший известный каждому студенту учебник по термодинамике, неожиданно уволился из МГУ, полностью порвал с научной средой, затворился с женой на даче в Песках и прожил там вплоть до 49-го. Жена, вышедшая утром в магазин, вернулась и обнаружила профессора лежащего на участке лицом в маленькой луже. Курчатов считал погибшего сумасшедшим, однако, заметил, что Петрищевы всегда жили широко – до затворничества и после, хотя богатыми наследниками не были.

– Ну вот, уже кое-что, – Хват удовлетворенно снял «наперстки» с посиневших ног академика.

Вдову профессора Петрищева Хват не стал подвешивать. Грудастую корпулентную даму раздели, приковали к мягкой кровати, сделали ей инъекцию люстстимулятора пополам с кокаином. Хват сменил кожаные перчатки на резиновые, растер между ними вазелин и, присев на кровать, стал массировать даме клитор, одновременно сжимая ее рыхлую венозную грудь.

– Мамочка... мама... – сладко плакала раскрасневшаяся вдова.

– Сделаем хорошо хорошей девочке... сделаем сладко... – зашептал Хват ей в розовое ухо. – Девочка у нас красивая, девочка нежная, девочка умная... девочка расскажет все нам... девочке будет так приятно, так хорошо...

Он почти довел ее до оргазма и сразу остановился. Петрищева хотела было помочь себе толстыми бедрами, но Хват схватил их, развел:

– Нельзя, нельзя... девочка еще не сказала. Так повторялось три раза. Петрищева билась на кровати, как тюлень, обливаясь слезами и слизью.

– Девочка расскажет... и я ей сразу сделаю... а потом к девочке жених придет... высокий, стройный чекист... голубоглазый... за дверью ждет с букетом... расскажи про голубое, сладкая наша...

Пуская пузыри и захлебываясь слезами, Петрищева рассказала. Из ее сбивчивых речей, прерываемых криками и стонами, стало ясно, что в 35-ом профессора Петрищева вызвал в Кремль Сталин и показал ему девять страниц из некой книги, написанной по-русски, кровью на оленьей коже. На этих девяти страницах было описание вещества голубого цвета, которое должны прислать из будущего для того, чтобы мир изменился. Вазелиновые попытки Хвата, выяснить подробности этих свойств, успехом не увенчались: вдова, дама с

незаконченным гуманитарным образованием, как не билась, ничего вразумительного из себя не выдавала.

– И ну поделай, и что это... и ну поделай, и что это... – подмахивала она руке Хвата, – и... что мир изменит... мир изменит... и ну поделай, и что это... и... не гниет... не тлеет... не нагревается... и ну поделай, и что это... и ну поделай... и ну поделай... ну поделаай!»

– Хуй тебе, – Хват встал с кровати, стянул с рук жирные перчатки, отдернул ширму, за которой прилежно трудилась стенографистка. – Оформишь – сразу ко мне в кабинет!

– И ну поделай! И ну поделай! – металась Петрищева.

Захватив дело и трубку, Хват вышел в коридор подземной тюрьмы, заспешил к лифту, скрипя новыми сапогами. Курносый старшина с автоматом на груди открыл перед ним дверь лифта.

– Минуту! – подбежал к лифту майор Королев с двумя толстенными томами «дела банкиров» под мышкой. – Приветствую, товарищ Хват!

– Здорово, Петь, – Хват протянул ему руку. Лифт тронулся вверх.

– А в отделе говорят – Вы в отпуске! – белозубо улыбнулся майор.

Хват раскурил трубку, устало посмотрел майору в переносицу:

– Баб допрашивать – все равно, что из говна пули лепить. Понял?

– Понял, товарищ полковник! – еще белозубей заулыбался майор.

В 16.31 самолет Сталина пересек границу СССР в районе Праги.

Берия раздвинул темно-желтые шелковые шторы на янтарной карте мира, посмотрел:

– Теперь ясно к кому он летит.

Он вернулся к столу, взял листы хватовских допросов, посмотрел, разорвал и бросил в корзину.

– Может, допросить химиков, patron? – спросил Абакумов – Не может быть, чтобы о таком уникальном веществе ничего не...

– Прошлогодний снег, – оборвал его Берия.

– Я бы, товарищ Берия, попотрошил Власика, – заворочался широкоплечий Меркулов. – У него рыло в пуху. Он тогда, после убийства Кирова...

– Прошлогодний снег, – проговорил Берия, хрустнул пальцами и выдвинул правый ящик стола. В столе лежал инкрустированный янтарем пистолет с глушителем.

– Кто стреляет по вальдшнепу, который уже пролетел? – спросил Берия и выстрелил в лоб Абакумову.

Князь рухнул на оранжево-палевый ковер. Собиравшийся понюхать кокаину, Меркулов замер с раскрытой коробочкой.

– Только очень глупый охотник, – Берия выстрелил ему в правый глаз.

Меркулов навалился грудью на стол. Серебряная коробочка упала на папку дела «Самолет», кокаин высыпался из нее.

Берия полюбил палец, обмакнул в порошок и задумчиво провел им по своей верхней десне.

Два гибких русоволосых стюарда подавали десерт – фрукты в мандариновом желе, когда в салон вошел борткомандир и, приложив руку к сине-белой фуражке, доложил:

– Товарищ Сталин, наш самолет пересек границу СССР и вошел в воздушное пространство Третьего Рейха.

– Хорошо, – кивнул Сталин и посмотрел на часы. – Сколько еще?

– Минут сорок и мы на месте, товарищ Сталин. Зачерпнув золотой ложечкой желтое желе из хрустальной розетки, Хрущев покосился в иллюминатор:

– Облачно.

– В Праге дождь, товарищ Хрущев, – заметил борткомандир.

– В какой? В Западной или Восточной? – тяжело глянул на него граф.

– В... обеих, товарищ Хрущев, – серьезно ответил пилот.

– Не может быть. Это провокация, – покачал головой жующий граф.

Борткомандир непонимающе стоял посередине салона.

– Вы свободны, – улыбнулся Сталин. Пилот и стюарды вышли.

– Пап, а в Праге стену когда построили? – спросил Василий.

– Сразу после войны, дубина, – томно потянулся Яков.

– Через трое суток после завершения Потсдамской конференции были заложены первых два камня, – ответил Сталин.

– А почему – два?

– Потому что Пражская стена строилась взаимными усилиями двух держав-победителей: СССР и Германии. Один кирпич положил фон Риббентроп, другой – Молотов.

– А зачем стену делать обязательно через Прагу? – заговорила Веста, натягивая мохеровую «трубу» на левретку. – Сделали бы чуть подальше. Там же родственники, друзья. И вдруг – живут в разных городах. Если б Москву перегородить по Красной площади, это значит – я в Восточной Москве останусь, а Машка Жукова и Натали Малиновская – в Западной.

Ужас. Зачем обязательно через Прагу?

– Так войска остановились, stupid girl, – зевнул Яков.

– Что у тебя по Истории СССР, Василий? – спросил Хрущев.

– Четыре, граф. Просто... у нас учитель странный какой-то. Интроверт.

– Не клевети на Сергея Арнольдовича, – с укором заметила Аллилуева. – Он замечательный педагог.

– Учителей-интровертов наш народ давно уже превратил в лагерную пыль, – произнес Сталин. – А историю своей родины надо знать.

Через сорок минут самолет пошел на посадку и после долгого планирования над баварскими Альпами приземлился на личном аэродроме Гитлера близ Берхтесгадена.

Этот просторный, почти всегда пустой аэродром был обустроен в Альпах после произведенного здесь подземного атомного взрыва, расчистившего древние горы.

Длинное, непривычно ровное поле аэродрома напоминало застывшее горное озеро и упиралось в гранитное лицо Гитлера, вырубленное из целой горы усилиями Арно Брекера и шести тысяч франко-английских заключенных.

Умно-сосредоточенное лицо с высоким лбом, горбатым прусским носом, маленьким упрямым подбородком и красивыми властными губами со спокойной величавостью исполина смотрело на жужжащее белое насекомое, подползающее к нему по посадочной полосе.

Турбины остановились, подъехал трап.

– Gruss Gott, Deutschland, – встал с кресла и захрустел пальцами Хрущев.

– Ой, как здесь капитально! – посмотрела в иллюминатор Веста. – Буду на горных лыжах кататься.

– На саночках с мамочкой... – пробормотал Василий, собирая леденцы, выпавшие из коробки ему на колени. – Яш, дай закурить.

– Хуй тебе, – прошептал одними губами Яков, надевая поданный стюардом пиджак.

– Распорядись насчет экипажа, – кивнул Хрущеву Сталин и первым направился к выходу. Свежий горный ветер приятно охладил его лицо. Сталин шагнул на резиновую площадку трапа и с удовольствием вдохнул полной грудью. Внизу вождя страны Советов ждали худой, подтянутый Мартин Борман, полноватый, коренастый фон Риббентроп и ничем не примечательный командующий лейбштандартом СС «Адольф Гитлер» Зепп Дитрих.

Надежда встала рядом с супругом, и они, неторопясь, спустились по трапу.

– Guten Tag, Herrschaften! – громко приветствовал встречающих Сталин и уверенно ступил на немецкую землю.

– Herr Gensek! Ich darf Sie im Namen der Regierung des Dritten Reiches willkommen heissen! – прохрипел лиловощекий фон Риббентроп, и начались рукопожатия.

Хрущев и дети Сталина присоединились к церемонии. Военный оркестр заиграл гимн Советского Союза, все на время замерли; затем Сталин с Риббентропом двинулись вдоль шеренги эсэсовского почетного караула.

В лайнере, тем временем, ниндзя, Аджуба и Сисул быстро и профессионально удавили экипаж самолета.

Подъехали четыре темно-синих «Хорьха». В первом разместились Сталин с супругой и фон Риббентроп, во втором Хрущев с Борманом, в третьем дети Сталина с Зеппом Дитрихом, в четвертом четверо ниндзя, колонна с золотым шприцем, Сисул и Аджуба, поранивший себе руку брошью задушенного стюарда. Два черных мерседеса охраны выехали из-под подбородка каменного Гитлера, и эскорт тронулся.

Дорога на Оберзальцберг плавно вилась серпантинном вокруг одной горы, затем другой, забираясь выше и выше. Наверху было облачно, туманно и лежал чистый снег. Густой ельник обступал серпантин, местами наползали желтовато-серые скалы, разверзающиеся пропастями, с мелькающей далеко внизу светлой и темной зеленью лугов и предгорий. Вскоре эскорт въехал на просторное плато, большую часть которого занимала сумрачная громада «Бергхофа» – замка рейхсканцлера Третьего Рейха Адольфа Гитлера.

Выстроенный по проекту Шпеера в стиле нео-готики, замок потрясал своим нечеловеческим размахом и удивительной архитектурой: словно кусок чудовищных сот соорудили здесь невиданные огромные пчелы, и, не наполнив их небесным медом, в испуге покинули навсегда, уступив во владение одному из самых великих и необычных людей Земли.

Машины въехали в раскрывшиеся позолоченные ворота замка, обогнули громадный фонтан, изображающий борьбу титанов с богами, и остановились возле широкой мраморной лестницы парадного входа. Черные эсэсовцы отворили дубовые готические двери, и по серо-голубому мрамору сошел вниз Адольф Гитлер.

Высокий, худощавый, он был похож лицом на свое казенное изваяние в Берхтесгадене.

Длинные прямые волосы пепельного цвета доходили рейхсканцлеру до узких плеч. На нем был темно-синий френч, переходящий в узкие галифе с высокими сапогами.

– Mein her zlicher Freund! – произнес Гитлер мягким низким голосом, и его большие нервно-бледные руки пианиста сомкнулись вокруг смуглой руки Сталина.

– Mein teurer Freund! – Сталин накрыл ладони Гитлера своей левой рукой.

Они молча смотрели в глаза друг другу. Гитлер был голубоглазым. Карие глаза Сталина здесь, в высокогорье Альп, слегка посветлели.

– Йа оччень рат! – произнес Гитлер и улыбнулся своей неуловимой магической улыбкой.

– Ich auch, mein Freund! – ответил Сталин, улыбаясь с мягкой искренностью.

Порыв горного ветра пошевелил пепельные волосы Гитлера, качнул стоячий ворот сталинского плаща. Пальцы их расстались. Гитлер поцеловал руку Надежде, поприветствовал остальных и плавным жестом дирижера пригласил гостей войти.

Все поднялись по лестнице, переступили кованый порог замка с выбитым на нем «BLUT UND BODEN» и оказались в огромном гостевом зале, напоминающем внутренность готического храма. Восьмигранные колонны из черно-красного обсидиана поддерживали острые арки терракотového потолка, эсэсовцы в белой униформе стояли по углам, а в центре на красном гранитном полу возвышалась вырубленная из горного хрусталя обнаженная Новая Германия с мечом в правой руке, руной «Пробуждение» в левой и с золотым венком на голове.

После непродолжительного обмена ритуальными фразами Гитлер пригласил прибывших пожаловать в гостевые апартаменты замка, чтобы они смогли «отдохнуть после неестественного преодоления земного пространства». В 23.00 он ждал их на ужин в Небесном зале.

Сталину и Надежде были отведены апартаменты из семнадцати великолепных комнат, отделанных в классическом венском югендштите и убранных живыми цветами из всемирно известной оранжереи фюрера.

Дойдя до сиренево-золотой гостиной с гнутой мягкой мебелью, кланяющимся какаду и четырьмя полотнами Густава Климта, Надежда захотела выпить зеленого чая. Сталин поцеловал ее и с чемоданчиком в руке двинулся дальше по прелестной анфиладе, пока не

оказался в спальне изумрудного плюша. Верный Сисул затворил за ним зеленые двери и привычно лег перед ними на пол. Сталин поставил чемоданчик на камин, не раздеваясь, бросился на серебристо-зеленую кровать и заснул неглубоким сном вождя.

К одиннадцати вечера в Небесном зале «Бергхофа» все было готово к приему.

Едва семья Сталина приблизилась к перламутровой входной арке зала, как церемониймейстер в белом эсэсовском мундире с аксельбантами трижды стукнул стальным жезлом по мраморному полу и выкрикнул высоким чистым голосом:

– Seine Exzellenz – Josef Stalin und seine Familie!

Камерный оркестр заиграл увертюру из «Тристана и Изольды».

Сталин с Надеждой неспешно вошли в зал. Василий, Веста и Яков с чемоданчиком следовали за родителями.

Круглый Небесный зал простирался вокруг и над ними во всем своем великолепии.

Бледно-голубой мрамор пола плавно перетекал в синюю яшму стен, стягивающуюся к огромному овальному небесному куполу темно-фиолетового Лабрадора. Небесная сфера светилась алмазными звездами, Млечный путь, переливаясь, пересекал ее. Стальная свастика, удерживаемая невидимыми магнитами, парила под Полярной звездой, медленно вращаясь. В громадном окне зала виднелись Альпы, освещенные луной. Настоящие звезды скупо поблескивали над ними.

В зале, с бокалами шампанского в руках, стояли Гитлер, его жена Ева Браун, фон Риббентроп, Борман, Геринг с супругой Эмми, личный врач Гитлера доктор Морелль, кинорежиссер Лени Рифеншталь и граф Хрущев.

Гитлер поставил недопитый бокал на поднос эсэсовскому слуге и, распростерши длинные руки с выбивающимися из узких рукавов синего фрака кружевными манжетами, пошел к Сталину, громко стуча по мрамору высокими каблуками туфель с золотыми шпорами.

Тонкая, затянута в леопардовое платье Ева последовала за ним.

Сталин и Надежда были в белом.

– Nadja! Josef! – Гитлер прикоснулся своими властными губами к белой перчатке Надежды, сжал руку Сталина. – Ich bin so glücklich, meine bezaubende Freunde! Macht es Ihnen nichts aus, dass Sie hier in den Bergen für einen Augenblick den Boden unter den Füßen verlieren?

Ответно сжимая руку Гитлера, Сталин тепло улыбнулся и выдержал паузу, собираясь с удовольствием нырнуть в сумрачный омут немецкого языка, хорошо знакомого ему еще со времен брест-литовского детства. В семье вождя все, за исключением Василия, прекрасно говорили по-немецки.

– Напротив, Адольф. Здесь поневоле почувствуешь себя изгнанником Валгаллы. А это – весьма комфортное чувство, – сочно, с легким берлинским акцентом проговорил Сталин.

– Изгнанником? Не обитателем, а всего лишь изгнанником? – засмеялся Гитлер. – Ты оценила, Ева, эту большевистскую иронию?

– Вполне, милый. Здесь я ощущаю себя кем угодно, только не небожительницей... Nadine, дорогая, – Ева прикоснулась своей щекой к щеке Надежды, – ты обворожительна! Обе пары были «на ты» со времени Потсдамской конференции, положившей начало великой советско-германской дружбы и новому переделу мира.

– Мы не виделись почти два года, друг мой, – Гитлер взял Сталина под локоть. – И это плохо.

– Очень плохо, – согласился Сталин. – Не только для нас, но и для наших народов.

– Бог мой! – воскликнул Гитлер, заметив Весту. – Это твоя дочь, несравненная Веста? Разрази меня гром! Я видел ее еще ребенком!

– Я тоже, – улыбался Сталин.

– Весточка и сейчас ребенок, – сказала Надежда. Веста сделала книксен.

– Русская красота! Настоящая русская красота! – Гитлер поцеловал руку Весты. –

Невероятно! Будь у меня такая дочь, я забыл бы про политику. Василий! Яков! – он

потрепал их по плечам. – Бог не дал мне детей, но наградил способностью любить детей моих друзей, как своих. Пока вы здесь, вы все мои дети, помните это!

– Мы тоже любим вас, господин рейхсканцлер, – ответил Яков.

– Шампанского! – выкрикнул Гитлер, и слуги засуетились, поднося бокалы на синих подносах.

– За великого Сталина, моего лучшего друга и неизменного соратника в нашей героической борьбе по освобождению Человека! – провозгласил Гитлер.

Все выпили.

Сталин взял новый бокал:

– За Новую Германию, разбуженную гением Адольфа Гитлера!

Все снова выпили.

К Сталину подошли Геринг с супругой и Лени Рифеншталь.

– Рад приветствовать вас, господин генеральный секретарь, – склонил худощавую, редковолосую голову двухметровый, тонкий как жердь Геринг.

– Здравствуйте, Геринг, – пожал ему руку Сталин. – Когда наконец ваши доблестные «Люфтваффе» осыпят дядю Сэма атомным поп-корном?

– Не спрашивай Германа об этом, – притворно-страдальчески вздохнул Гитлер. – Сейчас его больше заботит гражданская авиация.

– Правда?

– Да, да. Он проектирует пассажирский лайнер для охотников. Какой уж тут атомный поп-корн!

Все рассмеялись, а Геринг дважды тряхнул своей вытянутой головой.

– Лени! – Сталин протянул руки к Рифеншталь.

– Мой дорогой, мой любимый Иосиф Сталин! – Лени поцеловала его в обе щеки. – Атлас, держащий русское небо! Повелитель моей любимой страны!

– Любимой – после Германии, надеюсь? – Сталин с удовольствием разглядывал ее маленькое, смуглое лицо с азиатскими раскосыми глазами.

– Не надейся, Иосиф, – вздохнул Гитлер. – Лени теперь больна русской темой.

– Это до тех пор, пока она не сделает фильм о России! – усмехнулся Сталин.

– Я готова хоть сейчас! – воскликнула Рифеншталь. – Но где идея? Где импульс? Я не могу снимать просто Россию! У меня так всегда, – она взяла Сталина под руку и быстро заговорила: – Я снимаю то, что меня потрясает. В «Триумфе воли» это был Гитлер, в «Олимпии» – спорт, в «Атомной эре» – ядерный гриб над Лондоном. Но в России меня потрясает все! А мне нужен конкретный импульс.

– Он стоит перед тобой! – Гитлер указал бокалом на Сталина.

– Сталин запрещает снимать себя, тебе это известно, Адольф, – нервно тряхнула прямыми черными волосами Лени.

– Это правда, – чокнулся с ней Сталин.

– Сделай фильм о внутренней свободе в России, – серьезно проговорил Гитлер. – Это и будет первый документальный фильм о Сталине.

– Хватит о вождях, давайте о народе, – Сталин взял с подноса бокал, протянул Лени. – В «Триумфе воли» вы потрясли трон великого Эйзенштейна. Ни в одном фильме народные массы не источают такую сильную любовь.

– В «Броненосце Потемкине» они источают потрясающую ненависть! – сверкнула глазами Лени.

– А от любви до ненависти – народу один шаг, – с идиотской улыбкой заметил доктор Морелль – Поэтому оба фильма великие. Они как... два сапога какого-то страшного Гулливера. Два сапога! А уж он-то в них так и шагает, так и шагает! Айн-цвай! Айн-цвай!  
– Я жду inspiration, Иосиф, – произнесла в бокал Лени, не обращая внимания на Морелля. Оркестр играл Моцарта.

Вдруг бокал с шампанским выскользнул из рук фюрера и громко разбился об пол. Гитлер посмотрел в дальний конец зала, присел и хлопнул себя ладонями по коленям:

– Блонди! Мальчик мой!

Огромный лимонно-белый дог кинулся через весь зал к своему хозяину. Две другие собаки – французский бульдог Негус и мопс Штази флегматично дремали на бархатных подушках.

– Я тебя еще не *трогал* сегодня, – Гитлер опустил на колено и сделал знак оркестру. Музыканты прекратили играть.

Подойдя к коленопреклоненному хозяину, дог лизнул его в бледную щеку. Гитлер плавно поднял свои бессильно висящие вдоль тела руки.

Дог вздрогнул и оцепенел.

В зале наступила абсолютная тишина. Ладони Гитлера зависли над головой дога и раскрылись длинными пальцами, как раскрываются диковинные тропические цветы. До этого мгновения руки фюрера были руками обыкновенного человека, сейчас же они преобразились и стали теми самыми Великими Руками Гитлера, от которых трепетал весь мир.

Собака стояла словно чучело под сенью этих необыкновенных рук. Незримое напряжение пошло от них, все присутствующие замерли.

– Я тебя еще не трогал сегодня, – снова произнес Гитлер.

Вокруг его рук возникло слабое зеленоватое свечение и синие искры задрожали на кончиках пальцев. Пальцы сжались, разжались и окостенели в каноническом положении «рук Гитлера», словно сжимая два невидимых шара. Концы пальцев сильнее заискрили синим.

Сталин улыбнулся.

Это были руки Гитлера, руки его друга, разделившего с ним послевоенную старушку-Европу. Руки, на силе которых держался Третий Рейх.

Собака стояла, не шелохнувшись. Ее желто-белая голова, освещенная сине-зелеными всполохами, казалась отлитой из неземного стекла. Черные влажные глаза остекленели.

– Мне надо учиться у тебя, мой друг, – произнес Гитлер бесцветным голосом, прикрыв веки, – многому, многому учиться.

Руки его переливались сине-зеленым огнем.

Искры впервые вспыхнули на этих юношеских, грязных, исцарапанных руках в 1914 году в окопах под Верденом после прямого попадания французского снаряда в блиндаж, где сидело поредевшее отделение ефрейтора Гитлера вместе со своим юным командиром.

После страшного грохота и ослепительной вспышки Адольф очнулся в центре большой земляной воронки, по краям которой громоздились изуродованные бревна и тела солдат.

Руками Адольф страшно сжимал свою голову. Тогда собственные руки показались ему корнями двух исполинских дубов, кронами уходящих в небесную твердь. Могучие корни их впились в полушарии мозга Адольфа с божественной беспощадностью, словно дефлорировав его сознание. Зажмурившись, он закричал от ужаса.

А когда открыл глаза, мир был уже другим. В нем не было страшно. Он стал родным, как тело Адольфа, и понятием, словно таблица умножения. Адольф отпустил голову и посмотрел на руки. В них была такая мощь, что он заплакал от восторга...

А через несколько стремительно промелькнувших лет Адольф Гитлер стоял на столе в переполненной мюнхенской пивной «Хофбройхауз», готовясь впервые в жизни применить свою чудесную силу.

Большой прокуренный зал был переполнен и нестерпимо вонял пивом, вкус которого Адольф не переносил с детства.

Перед Гитлером выступал коммунист Эрнст Тельман – бодрый, чернобородый, раскрасневшийся толстяк, более часа сотрясавший аляповатые люстры «Хофбройхауза» своим рокошущим басом. Он говорил блестяще, доводя публику до иступления, выкрикнул:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», сунул в рот два пухлых коротких пальца и грозно переливчато засвистел, вызвав шквал овации. Мюнхенцы подхватили его на руки и стали бережно передавать по залу, словно копченый окорок священной свиньи.

Друзья Гитлера – одноногий Рудольф Гесс и маленький черноволосый Альфред Розенберг подтолкнули Адольфа к столу, но он инстинктивно попятился.

– Адольф, ты должен! – закричал ему в ухо Розенберг.

– Сейчас или никогда! – хрипел Гесс. Они помогли Гитлеру вскарабкаться на стол. Он выпрямился и огляделся.

На нем был сине-зеленый мундир с белой свастикой на рукаве.

Кругом сидели и толпились эти жирные, потные баварцы в кожаных штанах, столь ненавистные ему, венскому аристократу. От них так несло мочой и пивом, что у Адольфа помутнело в глазах. Он понял, что его сейчас обильно вырвет на этот залитый пивом дубовый стол.

– Ну, а ты что нам скажешь, синий глист? – выкрикнул усатый бюргер в шляпе с кисточкой, и зал засмеялся. Подавив приступ тошноты, Гитлер сглотнул и произнес хриплым слабым голосом:

– Добрый вечер, соотечественники. Дружный хохот сотряс пивную.

– Вот образ настоящего наци! – пророкотал из своего «красного» угла Тельман, и люстры снова закачались от хохота.

– Наци – свиньи! Наци – свиньи! – стал скандировать краснощекий Тельман, стуча по столу ополовиненной кружкой.

Зал послушно подхватил:

– Наци – свиньи! Наци – свиньи!

Десяток крепких рук вцепились в ораторский стол и принялись встряхивать его в такт реву.

Гитлер зашатался.

Гесс и Розенберг кинулись было на помощь, но быстро получили кружками по головам и повалились на мокрый пол.

Пытаясь сохранить равновесие, Адольф растопырил пальцы рук, собираясь упасть на них. Пальцы согнулись и засветились зеленым.

Зал не сразу заметил это. Но от рук Гитлера пошла незримая волна энергии, пробивающая и отрезвляющая пьяных бюргеров.

Стол перестали трясти, и через пару минут в зале воцарилась мертвая тишина. Раскрыв рты, баварцы смотрели на этого худого парня со светящимися руками. Кто-то громко выпустил газы.

Почувствовав свою силу, Гитлер направил руки на толпу. По кончикам пальцев пробежали синие искры, раздался треск, и десять синих молний, словно когти, впились в потное тело народной массы.

– Кровь и почва, – произнес Гитлер.

– Кровь и почва! – прошептали сотни немецких губ.

Казалось, прошла вечность.

Гитлер опустил руки. Свечение и молнии погасли.

Толпа мгновенно оторопела. Пялилась на него, затем в ней раздались восторженные крики, и волна народного восторга смела Адольфа со стола. Руки немцев подхватили его и стали подбрасывать к прокопченному потолку пивной.

– Кровь и почва! Кровь и почва! Кровь и почва! Гесс и Розенберг заворочались на полу, подняли свои разбитые головы и, плача, обнялись: победа!

И все те же руки немцев поволокли к выходу злобно плюющего толстяка Тельмана и уже не копченым окороком, а мешком с сушеным дерьмом.

– Ну-ка вон отсюда, красная свинья! – прорычал ему в ухо смуглый баварец и крепким пинком навсегда отправил вождя немецких коммунистов за порог «Хофбройхауза».

Так началось Великое Пробуждение Немецкого Народа...

– Учиться... учиться... нам всем надо у тебя учиться... – бормотал Гитлер, поглаживая Блонди искрами. – Учиться любви и верности.  
Фюрер тяжело вздохнул и встряхнул руками.  
Свечение пропало.  
Собака вздрогнула, взвизгнула и отпрянула в сторону. Отряхнувшись, словно от невидимой воды, она потянулась, зевнула и стала обильно мочиться на мраморный пол.  
– Блонди! Мальчик мой! – засмеялся и захлопал в ладоши Гитлер.  
Все заплодировали. Слуги поспешили к собаке со швабрами.  
– Адольф, ты неподражаем! – искренне признался Сталин, обнимая Гитлера. – Даже когда ты *трогаешь* собак.  
– Я многому учусь у животных, – серьезно заметил Гитлер, одним духом опустошая бокал с шампанским.  
– Кстати, а где же наша Антанта? – спросил Сталин Надежду  
– Вероятно, с Сисулом.  
– Как, ваша собака не с вами? – удивилась Ева. – Друзья, вы невнимательны к братьям нашим меньшим.  
– Позовите, немедленно позовите Антанту! – топнул каблуком и потрянул длинными волосами Гитлер.  
Появился Сисул и впустил в зал левретку. Антанта с разбега вспрыгнула на грудь своему хозяину, Сталин подхватил ее. Левретка возбужденно облизала его щеку и впилась нежным, но сильным языком в ноздрю.  
– Какая прелесть! – подошла Ева.  
– Чудесная собака, – Гитлер погладил беспокойную голову левретки. – Она потомок собак фараонов, не правда ли?  
– Грейхаундов? – неуверенно спросил Борман.  
– Салюков, – подсказал Сталин, опуская Антанту на пол.  
Левретка понеслась по залу. Дог не обратил на нее внимания, зато Негус и Штази слезли со своих подушек и с удовольствием обнюхались с ней.  
– Собаки... собачки... это, знаете, господа, как птички Божие! – вдруг громко заговорил доктор Морелль. – С одной стороны, они раздражают, и иногда хочется – за ногу да об стену чтоб мозг так и брызнул. А с другой стороны, сожмешь сердце, погладишь собачку, приласкаешь и сразу в голове такая ясность. Ясность, господа! Как... как... ну... в Мюнхене, когда фён уже кончился и можно снова продуктивно думать.  
– Что такое фён? – спросил Хрущев.  
– Фён! Вы не знаете фёна? – оживился Морелль, вплотную подходя к графу.  
Хрущев вовремя отвернулся, иначе его огромный нос въехал бы в пухлую щеку лейб-доктора.  
– Фён! Это ветер с Альп, ветер с юга! – закричал Морелль в ухо графу. – Когда он дует, мозги превращаются в кнедли!  
– А что такое кнедли? – спросила Веста.  
– Ты вовремя задаешь этот вопрос, дитя мое! – поднял палец Гитлер. – Друзья, мы заговорились. А беседа, как свидетельствовали римляне, всего лишь приправа к еде. Не наоборот. Прошу вас!  
Он сделал знак дирижеру. Оркестр смолк.  
– Стол! – скомандовал Гитлер.  
Синий прямоугольник пола медленно опустился вниз, открывая подсвеченное подвальное пространство. Внизу послышался шорох, торопливое движение невидимых слуг, и вскоре мраморная плита поднялась со стоящим на ней столом и встала на место.  
Стол был великолепно сервирован и выдержан в сине-голубых тонах: на голубой скатерти стояли синие тарелки, синие бокалы, голубые блюда с закусками; пламя трех дюжин лазуревых свечей дробилось в фиолетово-голубых стеклах графинов.  
Гитлер сделал свой дирижерский пригласительный жест, и все подошли к столу

Оркестр грянул Штрауса.

Хрущев достал платок и вытер заплеванное Мореллем ухо.

Когда все расселись по указанным синими табличками местам, Гитлер взял фиолетовый графин с Мозельским и стал наполнять бокалы сидящих рядом с ним Надежды, Евы и Сталина. Он всегда делал это сам и терпеть не мог, когда вино разливали слуги. Борман и Геринг наполнили бокалы остальных гостей.

– Друзья! – поднял синий бокал Гитлер. – Вы знаете, я не люблю и не умею говорить тосты. Но сегодня мне приятно сделать усилие над собой. Не так давно мы с партайгеноссе Борманом были в Ирландии. Это замечательная страна, И очень неглупый народ. Гостеприимный, непосредственный Англичане безумцы. Они ненавидели национал-социализм ненавидели коммунизм. Что же они любили? Свою островную плутократию. Что они пестовали в себе? Типично английскую шизофрению. И что же они получили от внешнего мира? Атомную бомбу А мудрые ирландцы, над простотой и доверчивостью которых потешались чопорные англичане открыли нам границу Еще задолго до англо-немецкого кризиса На что похожа теперь Англия? На сожженное осиное гнездо. А Ирландия? На цветущий вишневый сад. Так вот В Дублине, во время нашего визита, был открыт памятник Вы думаете – мне? Ошибаетесь, друзья! Это был памятник Иосифу Сталину. На центральной площади Дублина. Бронзовый Сталин со своим знаменитым золотым шприцем.

Гитлер помолчал, сосредоточенно глядя на ровно горящие свечи.

– Я всегда был честолюбив, но не тщеславен, – продолжил он. – В отличие от Ленина, Ганди и Рузвельта я равнодушен к моим изваяниям. Поэтому я искренне аплодировал бронзовому дублинскому Иосифу. И так же искренне спросил мэра Дублина: по каким соображениям вы, целиком зависящие от Великой Германии, ставите памятник Сталину? И вот что мне ответил этот мудрый человек: господин рейхсканцлер, Германию мы любим как мать. Матери нет нужды ставить памятник, так как она у нас всегда в сердце, она всегда с нами. Сталин же для нас – символ свободы человека. А свободе стоит поставить памятник, так как она не всегда с нами. Свобода приходит и уходит. Неправда ли, друзья, замечательно сказано?

Гости одобрительно закивали.

– Иосиф! – Гитлер выше поднял бокал. – Если я разбудил Германию, то вы с Лениным разбудили человечество. Свобода приходит и уходит. Но вожди остаются. За тебя, мой бесценный друг!

Все встали.

Сталин подошел к Гитлеру, прижался щекой к его щеке и опустошил свой бокал. Гитлер выпил и метнул бокал через плечо. Все последовали его примеру, и несравненная музыка бьющегося хрусталя вплелась в ажурную вязь штраусовского «Голубого Дуная».

Гитлер простер над столом руки, две короткие молнии вспыхнули и погасли.

– Жрите, друзья мои! – воскликнул он, садясь.

Гости сели.

На столе преобладали мясные закуски, так как фюрер терпеть не мог овощей и фруктов. Ел он всегда много.

Подхватив вазу с салатом из дичи, Гитлер бухнул себе в тарелку добрую половину, полил салат соусом из дроздов, поперчил, выжал два лимона, взял ложку и стал быстро не поедать, а именно жрать эту аппетитную кучу.

Сталин положил себе *телячьей головы* – старого баварского блюда, напоминающего подогретый студень.

Надежда подцепила вилкой фаршированную картошку Веста плюхнула себе в тарелку пласт заливной форели. Сидящий рядом с ней Геринг с улыбкой зачерпнул свиных мозгов. Василий ковырял что-то венгерское, кроваво-красное. Яков потрошил огромного моллюска.

– Мой фюрер, это курица? – доктор Морелль показал насаженный на вилку кусок белого мяса.

Гитлер ел, не обращая на него внимания.

– Вот, вот, – Морелль положил кусок назад, в большое блюдо. – А я думал – кролик...

Знаете, господа, со мной этим летом престранная вещь приключилась. Наш фюрер подсказал мне гениальную идею – провести летний отпуск в Венеции. Раньше я там ни разу не был. Не верите? – обиженно посмотрел он на Хрущева.

– Отчего же, – граф угрюмо жевал петушиные потроха.

– Ни разу, ни разу не был! А ведь все рядом, все под рукой – адриатика! И вот, поехал я в Венецию. Вернее – поплыл. Остановился в самой дорогой гостинице. Кажется, называлась «Венецианское стекло». Да. Просыпаюсь утром. Думаю, сейчас поплыву, как Улисс. Уж поплыву, так поплыву! Венеция ведь. Сан-Марко, дворец Дожей, кладбища подводные.

Вот. Ну, умылся, вычистил зубы, покакал в туалете. Потом опять умылся... Я всегда после того как покакаю, сразу умываюсь. Вот. Ну и уже оделся. Но захотел есть, как всякий честный немец. Думаю – спуститься вниз, позавтракать? Гнусно! Рожи какие-то утром видеть – гнусно! Гнусно! – он зажмурился, потряс головой. – И решил заказать себе в номер.

Но не завтрак этот свинский, кофе с булочкой да сыр вонючий, а нормальный обед. Позвонил, спросил меню. Выбрал кролика в белом вине. И приносят мне кролика в белом вине. Целого. И как я, господа, увидел этого кролика, я просто совсем забыл, где я и что я.

Лежит на таком блюде совсем как гусь рождественский. Но это не гусь, а кролик! Вот в чем штука! Я прямо руками взял его и стал есть. Съел прямо с костями. То есть, я их не глотал, конечно. А жевал отдельно, тщательным образом жевал жевал и проглатывал, когда они уже размягчались. Таким образом, съел всего кролика. Вот. И заказал второго. И самое поразительное!

Приносят мне точно такого же кролика! И вкус точно такой же! Я снова руками за него взялся, а жир так и потек. Так и потек. И вот, господа, съел я обе задние ноги, берусь за переднюю. И вдруг вижу в этой ноге отверстие. А из этого отверстия...

– Иосиф, я давно тебя хотел спросить, – перебил Морелля жующий Гитлер, – почему в России никогда не было философов с мировым именем?

Сталин пожал плечами:

– Не знаю. Я никогда профессионально не занимался философией. Спроси моего друга графа Хрущева. Он профессиональный философ.

Гитлер посмотрел на графа.

– Вопрос серьезный, господин рейхсканцлер, – вытер плотоядные губы граф. – В России не может быть философии по определению.

– Почему?

– Нет разницы между феноменальным и ноуменальным. В такой ситуации философу делать нечего.

– Что же ему остается делать, если он родился философом? – поднял брови Гитлер.

– Мечтать! – ответил за Хрущева фон Риббентроп. – Русские философы не философствуют, а мечтают. Мой фюрер, я пытался читать Соловьева и Бердяева. Это литература, а не философия.

– Зато у русских замечательные писатели! – воскликнула Рифеншталь. – И музыка! Музыка! Я обожаю Скрябина!

– А я Рахманинова, – захрустела Ева сушеной уткой. – Его прелюдии бесподобны.

– И все-таки странно, что в такой великой стране нет философии, – Гитлер задумчиво оторвал голову у заливного поросенка, посмотрел на нее и откусил пятачок.

– Какой прок в философии! – дернула плечами Лени. – Я ни разу в жизни не открыла Канта! Но сняла три великих фильма!

– О, да. Это правда, – кивнула Надежда, расправляясь с налимьей молокой. – Лени, милая, я не могу забыть этой сцены из «Триумфа воли»... когда фюрер *трогает* штурмовиков на стадионе. Эти молнии из рук, как драконы! И тысячи, тысячи штурмовиков стоят неподвижно! Жаль, что тогда не было цветного кино.

– Я не люблю цвет в кинематографе, госпожа Аллилуева. Цвет убивает тайну

– Эйзенштейн говорит то же самое, – вставил Яков.

Эйзенштейн? – спросил Геринг. – Он жив?

– Конечно, – улыбнулась Надежда. – Наш великий Эйзенштейн жив, здоров и полон новых замыслов. Он хочет снимать «Преступление и наказание».

– Странно... – Геринг переглянулся с Гитлером. – А я думал...

– Что он погиб во время прошлогоднего еврейского погрома? – Сталин запил кусок цапли Рейнским.

– Я... что-то слышал подобное, – кивнул Геринг.

– Это «утка», запущенная нашими врагами, – заметил Сталин.

– Пуритане всего оставшегося мира клеветают на вас, Иосиф, – заметил Гитлер. – Еврейский вопрос в России и твое нестандартное решение его не дает им покоя.

– Решение еврейского вопроса, Адольф, требует деликатности. Оно не должно сводиться к тупому уничтожению евреев, – проговорил Сталин.

– Скажи это мяснику Рузвельту, – усмехнулся Гитлер. Сталин внимательно посмотрел на него:

– Придет время, друг мой, и мы вместе с тобой скажем ему это. Но не словами. А водородными бомбами.

– Я не против, Иосиф. Но у нас всего восемь водородных бомб.

– И у нас четыре.

– Пока этого не достаточно, друг мой. Чтобы преподать урок здравого смысла такой самовлюбленной стране, как Америка, нужен массированный удар.

– Сколько же?

– Двадцать, Иосиф, – убежденно проговорил Гитлер и положил себе половину индейки, фаршированной говяжьей печенью и имбирными сухарями, вымоченными в мадере.

– Двадцать, Иосиф. Я часто вижу во сне эти двадцать шампиньонов, вырастающих над Америкой.

– Не знаю, Адольф, – Сталин откинулся на спинку стула. – Мне кажется, довольно и двенадцати. Я рассуждаю так: если мы наносим удар по главным городам США, то в принципе этих городов как раз и... – он вдруг вздрогнул и, сжав кулаки, громко с шипением выдохнул. – Извини. Мне надо.

– Ах, конечно, мой друг, – Гитлер сделал знак слуге.

Четверо ниндзя и Сисул внесли осколок колонны со шприцем.

За столом все стихли.

Сталин сделал себе укол под язык, помолчал минуту, провел рукой по розовеющему лицу:

– Прости, Адольф... О чем мы говорили?

– Сначала – о еврейском вопросе. А потом я...

– Не надо делать культ из еврейского вопроса! – резко заговорил Сталин. – Американцы уничтожили 6 миллионов евреев. К чему это привело? К мифу о 6 миллионах жертвенных овечек, унижающем каждого еврея. Евреи никогда не были невинными овечками. Они не цыгане. И не австралийские бушмены. Они активные преобразователи планеты. За это я так люблю их. Это чрезвычайно активная и талантливая нация. Вклад ее в русскую революцию огромен. Поэтому мы расстреливаем не более пятидесяти тысяч евреев ежегодно. Одновременно строим новые синагоги, еврейские школы, интернаты для сирот холокоста. У нас, в принципе, нет антисемитизма. Но мы гибки в еврейском вопросе. Например, недавно завершился процесс по делу так называемого «Антифашистского комитета», куда входили наши известные евреи – писатели, актеры, ученые. Чем же они занимались в этом комитете? Составлением «Черной книги» о жертвах холокоста. Составили, собрали материалы и передали во Францию, где книга была опубликована и стала бестселлером.

– Мы с женой читали с большим интересом! – воскликнул доктор Морелль, высасывая мозг из головы омара.

– Что советский народ сделал с этим «Антифашистским комитетом»? – спросил Сталин у сидящих и тут же сам ответил. – Естественно – повесил, как паршивых псов.

– «Антифашистский комитет»... это не «дело врачей»? – спросила Ева.

Русские гости недоумевающе зашевелились:

– Что ты, Ева!

– Как можно сравнивать!

– «Дело врачей»... это ни с чем не спутаешь...

– «Дело врачей»!

– Да... «дело врачей»... – покачала головой Надежда. – Ева, дорогая. Ты представить не можешь сколько мы пережили в те роковые дни. «Дело врачей»... Я не спала тогда трое суток. Это... просто невероятно! Врач, который давно уже стал членом семьи, оказывается беспощадным, хладнокровным убийцей.

Веста вздохнула:

– Я до сих пор вздрагиваю, когда слышу эти фамилии: Виноградов, Вовси, Зеленин.

– Зеленин! – горько ухмыльнулся Яков. – Он лично подмешивал Щербакову стрихнин в кокаиновые капли. А Горькому в опийный коктейль – ртутные соли. А братья Коганы! Как они пытали Тимашук электрическим паяльником...

– Страшные люди, – тяжело вздохнула Надежда.

– Кого они успели убить? – спросила Ева.

– Горького, Щербакова и Жданова, – ответил Сталин. – И еще двух сотрудников аппарата ЦК, отказавшихся на них работать.

– Я помню этот процесс, – задумчиво проглотил горсть маслин Гитлер.

– Какое героическое, возвышенное и красивое лицо у этой медсестры Тимашук! – воскликнула Лени Рифеншталь. – Она не побоялась их угроз, вынесла все пытки... как я люблю таких русских женщин!

– Она украинка, – заметил Сталин и перевел взгляд на свой золотой шприц. – Да. У Виноградова уже был заготовлен дубликат. И шприца и колонны. Оставалось только наполнить мой шприц нужным содержимым.

– Их всех повесили, не так ли? – спросила Эмми Геринг.

– Да! На Красной площади! – закивала Лени. – Я видела хронику. Это потрясает, хотя я не любительница показательных казней. Дюжина дергается на виселицах, а тысячная толпа пляшет и поет. И радостно смеется. Русские умеют смеяться.

– А евреи – плакать, – неожиданно произнес Сталин.

– Врачи-убийцы работали на сионистский «Джойнт», – сумрачно произнес Хрущев.

Помолчали.

– Мне кажется, у евреев есть одна существенная национальная слабость, – заговорил Гитлер, наливая себе вина. – Они патологически боятся смерти. Поэтому они так покорны холокосту.

– Ты считаешь это недостатком, дорогой? – спросила Ева.

– Безусловно. Это ограничивает.

– Да, да! – доктор Морелль выплюнул кусок обсосанной клешни омара. – Мой фюрер, знаете на что похожа эта еврейская национальная черта? У меня дома три ванны. И одна, еще дедушкина, имеет одно странное свойство! Когда я в ней сижу и прижимаюсь низом спины к ванне, она присасывается! Да! Присасывается, как огромная присоска! Когда сидишь, это, знаете ли, приятно. Но, когда хочешь встать, ванна не пускает тебя! Держит, держит! Как живое существо! И это... очень неприятное чувство. Очень!

– С холокостом тоже много проблем, – произнес Сталин, беря веточку укропа и вертя ею, словно крошечным пропеллером.

– А был ли холокост? – спросил Геринг.

– Ну, все-таки 6 миллионов, – заметил фон Риббентроп.

– Это цифра американцев, – сказал Гитлер. – А все их данные во всех областях, кроме производства кока-колы, надо делить на 3. Хотя, что такое 6 миллионов? В нашей войне мы потеряли 42.

– 45, господин рейхсканцлер, – вставил Хрущев.

– Я придерживаюсь немецкой статистики, – сухо заметил Гитлер.

Возникла натянутая пауза.

– Ну вот, всегда так, – вздохнула Ева. – Опять мужчины съехали на политику. Адольф! Ты забываешь, что у женщин не только другие половые органы, но и другой тип мышления. Хотя бы за ужином мы можем быть свободными от политики?

– Это иллюзия, Ева, – ответил за Гитлера Сталин. – От политики нельзя быть свободным даже на унитазе. Даже в сладкие секунды оргазма я не забываю, кто я.

– А я забываю! – взвизгнула Ева. – Забываю! Забываю!

Все замерли.

Сталин медленно вытер губы голубой салфеткой, бросил ее на тарелку с недоеденной бычьей селезенкой.

Гитлер пристально посмотрел на Еву Сталин угрюмо переглянулся с Хрущевым.

Побледневшая Надежда поймала насмешливый взгляд Якова. Геринг осторожно покосился на фон Риббентропа. Борман, покусывая тонкие губы, смотрел на Гитлера. Доктор Морелль непонимающе уставился на Эмми Геринг, но она, презрительно отвернув породистую голову на тонкой шее, глубоко заглянула в азиатские глаза Лени Рифеншталь. Пауза угрожающе затягивалась.

Серые глаза Евы наполнялись слезами.

Подрагивая иссушенными кокаином ноздрями, она подняла взор вверх и стала неотрывно смотреть на вращающуюся стальную свастику.

– А можно... я вам спою? – неожиданно спросила Веста,

– Конечно! – улыбнулся Гитлер, и все облегченно выдохнули.

– Только мне нужен рояль, – Веста встала.

Гитлер сделал знак оркестру, играющему Вивальди. Оркестр смолк.

– Рояль! – громко приказал фюрер, Кусок пола перед дирижером поехал вниз и вернулся с синим роялем.

– Прощу тебя, милое дитя, – Гитлер сделал плавный жест рукой в сторону рояля.

Веста подошла к роялю и опустилась на синего бархата стул без спинки. Она была в чайного цвета платье с шиншиловой, простеганной золотыми нитями накидкой на плечах. Черные густые волосы дочери советского вождя были распущены и перехвачены тонким бриллиантовым обручем, увенчанным спереди изумительным гранатом неправильной формы.

Веста подняла свои еще по-детски угловатые руки, опустила их на клавиши и запела нежно-грубым, неповторимым голосом подростка:

Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen!

S.A. marschirt mit ruhig festem Schritt.

Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen,

Marschier'n im Geist in unsem Reihen mit.

Die Strasse frei den blauen Batallionen!

Die Strasse frei dem Sturmabteilungsmann!

Es schau'n aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen,

Der Tag fur Freiheit und fur Brot bricht an.

Zum letzten Mal wird nun Appel geblasen,

Zum Kampfe stehn wir alle schon bereit.

Bald flattern Hitlerfahnen über allen Strassen,  
Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit!

Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen!  
S.A. marschier mit ruhig festem Schritt.  
Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen,  
Marschier'n im Geist in unsern Reihen mit.

Взяв последний аккорд, Веста встала.

И сразу же резко встал Гитлер. Лицо его было бледнее обычного, глаза сверкали.

Собравшиеся аплодировать, гости – замерли.

Гитлер смотрел на Весту. Она сделала шаг, положила руку на угол рояля, непонимающе глянула на молчащих и на Гитлера.

– Иосиф, я хочу твою дочь, – произнес Гитлер. Все посмотрели на фюрера.

– Мой друг, почему ты говоришь об этом мне? – сдержанно улыбнулся Сталин.

Гитлер порывисто подошел к Весте, взял ее лицо в руки и мучительно поцеловал в губы.

Слабый стон вырвался из ее груди. Пошатнувшись, она потеряла равновесие, но Гитлер

подхватил ее за не очень тонкую полудетскую талию. Лица их разошлись. Из

прокушенной губы Весты текла кровь. Гитлер выхватил из рукава кружевной платок,

приложил к ее губам, но тут же резко отшвырнул прочь, схватил Весту за руку и потащил к дверям.

Спотыкаясь, она спешила за ним, как девочка за разгневанным отцом.

– Адольф! – встала Надежда.

Гремя каблуками и шпорами, Гитлер выволок Весту из зала.

– Адольф! – Надежда, опрокинув стул, кинулась за ними.

– Надя, не делай глупости, – сказал Сталин по-русски.

Надежда выбежала из зала.

Гитлер подвел Весту к двери, охраняемой эсэсовцами. Дверь распахнулась и он дернул Весту за собой – в открывшуюся анфиладу комнат.

Надежда догнала их:

– Адольф, надеюсь, тебе понятно материнское чувство?

– Конечно, дорогая, – не оборачиваясь, пробормотал он.

– Мама... – прошептала окровавленными губами Веста.

Дойдя до просторной гостиной с мягкой позолоченной мебелью и бронзовыми фигурами рабочих, Гитлер повернул Весту к себе и с силой взял за плечи.

Надежда остановилась у двери. Веста опустила голову.

– Посмотри мне в глаза, дитя мое, – сурово потребовал он.

Веста подняла свое прелестное лицо. Он дернул шиншилловую накидку за плечи, золотая цепочка, скрепляющая ворот, разорвалась, легкая как пух накидка упала к ногам Весты.

Она осталась стоять в узком платье без рукавов.

Гитлер задумчиво потрогал основание её шеи, нащупал ключицы, завел указательные пальцы под бретельки платья и рванул в стороны. Шелк треснул, разрываясь вдоль угловатой фигуры Весты.

Надежда прижалась щекой к дверному косяку и полуприкрыла глаза. Ее простоволосая дочь стояла перед Гитлером. Розовый лифчик облегал ее маленькую грудь, к длинным розовым трусикам были пристегнуты белые капроновые чулки.

Гитлер прижал Весту к себе, заглянул ей за спину и осторожно расстегнул лифчик. Она нервно повела широкими плечами, не то помогая, не то препятствуя ему.

– Какие они... – рухнув на колени, Гитлер потянулся губами к ее соскам.

Руками он дернул ее за предплечья, наклоня к себе. Волосы Весты накрыли его. Он стал подробно сосать ее грудь. Веста смотрела в сторону на бронзового рабочего, гнущего винтовку о мускулистое колено. Гитлер разорвал на ней трусики, толкнул. Она упала на

диван с сиренево-бело-золотистой обивкой. Адольф подполз к ней на коленях, развел ей ноги и беспощадно растянул пальцами половые губы, покрытые не очень густыми волосиками. Орлиный нос его жадно втянул запах ее гениталий, коснулся неразвитого клитора и тут же уступил место языку. Гитлер прошелся им по раскрытой раковине Весты снизу вверх, потом сверху вниз, впился в узкое влагалище. Но вдруг язык фюрера разочарованно отпрянул за его неровные губы.

– Тебя уже проткнули! – воскликнул он, вводя палец во влагалище. – Свинство! Я сжег бы этого мерзавца на площади! Ах ты, похотливый ангел!

Рывком он перевернул ее, словно куклу, поставил на колени перед диваном, расстегнул свои брюки. Его длинный, слегка кривоватый член вырвался на свободу Гитлер впился пальцами в маленькие ягодицы Весты, разломил их, словно жареного цыпленка, и стал насаживать на член.

Веста вскрикнула.

Головка члена скрылась в ее анусе. Гитлер схватил Весту за плечи и рывком вогнал в нее свой член по самый корень. Душераздирающий крик вырвался из ее уст, отзываясь многократным эхом в анфиладе.

– Дочка моя... – Надежда закрыла глаза, сильнее прижавшись щекой к дверному косяку.

– Кричи, кричи, ангел мой, – Гитлер обнял трепещущее тело девочки.

Ее крики перешли в рыдание, но она зажала себе рот и лишь тяжело нутряно взвизгивала после каждого толчка члена

– Вот так бодается тевтонский единорог, – шептал Адольф в ее темя.

Его сгорбленная фигура тяжело нависала над беззащитным телом Весты. Напряженная, дергающаяся от боли, дочь советского вождя перестала взвизгивать и покорно отдавалась ритмичным толчкам.

– Доверься мне, – Гитлер шлепнул ее по втянутому животу, выпрямился, откинув голову, и простер руки над спиной Весты.

Зеленое свечение пронизало его пальцы. Он взял ее руками за бедра. Она дернулась, как от разряда тока, и засмеялась.

– В жизни нет ничего страшного, – произнес он и задвигался сильнее.

Веста всхлипывала и смеялась.

– Но нет... – вдруг пробормотал он и со звуком отлипающей присоски вышел из нее.

Руки его погасли.

– Не сразу... не просто... – он схватил ее за волосы и ввел член ей в рот.

– Адольф, осторожней, умоляю! – воскликнула Надежда.

Он сделал два мучительных движения ногами, выхватил член изо рта девочки и сжал его вновь засветившимися руками:

– Здесь и теперь!

Струя спермы брызнула Весте в левый глаз.

– Здесь и теперь!! – закричал Гитлер срывающимся голосом, пошатнулся, и как сомнамбула побрел прочь с торчащим членом,

– Весточка... – вздохнула Надежда. Золотые шпоры Гитлера гремели по анфиладе.

– Мама, выйди, – произнесла, стоящая на коленях, Веста, прижимая ладонь к глазу.

Весточка... девочка моя...

– Выйди!! – закричала Веста.

Надежда пошла вслед за Гитлером.

Выйдя в холл из анфилады, она остановилась. Два эсэсовца неподвижно стояли у дверей, не замечая ее. Она рассеянно посмотрела на них, повернулась и снова вошла в анфиладу. Пройдя две комнаты, она села в кресло и сняла трубку розового телефона:

– Москву, пожалуйста. Немедленно соединили с Москвой.

– В-12-49, – сказала в трубку Надежда, и вскоре раздалась четыре далеких длинных гудка.

На пятом трубку сняли.

– Слушаю вас, – произнес сонный женский голос.

- Бориса Леонидовича.
- Борис Леонидович уже спит.
- Разбудите.
- Простите, а кто говорит?
- Его любовница, – ответила Надежда, в изнеможении откидываясь назад.
- Трубку бросили на твердое.
- Почему эта... почему она опять осмеливается звонить сюда?! – услышала Надежда. – Борис! Ты хочешь моей смерти?! Ты решительно хочешь моей смерти и смерти детей?!
- Зина, не говори банальности, – послышался приближающийся высокий голос.
- Он хочет нашей смерти! Он положительно хочет угробить всех вокруг себя! – удалился клокочущий женский голос.
- Я у телефона, – ответил Борис Леонидович своим удивительным высоким вибрирующим голосом.
- Борис, почему ты не звонишь мне? – спросила Надежда, с трудом сдерживая волнение.
- Надюша? Прости, я притворю дверь... – он отошел, вернулся. – Слушаю тебя.
- Почему ты не звонишь мне? – повторила она.
- Надя, это метафизический вопрос. А мы с тобой договорились, что не будем больше ворошить метафизику. Особенно ночью.
- Ты... не хочешь меня больше?
- Милая, не унижай меня. Мне довольно моего ежедневного семейного унижения.
- Борис... Борис... – голос ее задрожал. – За что ты меня мучаешь?
- Надя, я перестаю понимать тебя.
- За что ты мучаешь меня?!
- Но, переставая понимать тебя, я теряю доверие к себе самому. Мне давно уже пора платить самому себе по старым и новым векселям. Беда в том, что этот кредит бессрочный. А льготные кредиты доверия расхолаживают.
- Ты полюбил кого-то?
- Я люблю всех, ты знаешь.
- А может... это опять... со Шкловским?
- Надя, ты пугаешь меня возможностью окончательного разочарования в тебе.
- С этим... – она всхлипнула, – старым шутком... с этим...
- Надя, ты говоришь чудовищные вещи. Ты переходишь черту допустимого.
- Как это... глупо... как пошло...
- Пошлость – прерогатива богемы, – зевнул он.
- Этот шут... клоун... идиот...
- Надя, к чему этот плеоназм? Всё тривиальное не стоит заковывать в броню наших... Зина! Не смей! Послышались звуки борьбы за трубку.
- Я напишу на вас в ЦК! И лично, лично товарищу Сталину! – закричал срывающийся бабий голос.
- Лучше сразу Гитлеру, дура, – Надежда кинула трубку на розовые рычажки.
- Мимо прошла босоногая Веста в шиншилловой накидке,
- Прими ванну, – произнесла Надежда, глядя на свои бежевые туфли.

Когда Гитлер, Веста и Надежда покинули Небесный зал, Сталин встал, подошел к Якову, протянул руку. Яков подал ему чемоданчик.

- Господа, мы с графом на минуту оставим вас, – Сталин направился к выходу.
- Хрущев последовал за ним. За дверями Сталина встретили адъютант Гитлера, Сисул, Аджуба и четверка хрущевских ниндзя.
- Проводите нас в комнату спецсвязи, – сказал ему Сталин.
- Jawohl! – щелкнул каблуками адъютант, развернулся, словно заводная балерина, и повел высоких гостей к лифту.
- Охрана двинулась следом.

Все вошли в большой лифт, сплошь отделанный зеркалами. Адъютант нажал кнопку, лифт поехал вниз.

– Напомни мне про мазь, – сказал Сталин Хрущеву.

– Обязательно, – кивнул граф.

Лифт остановился, все вышли и двинулись по мраморному коридору. Возле комнаты спецсвязи стояли двое эсэсовцев с автоматами. Офицер прохаживался рядом.

– Баран, – произнес Сталин.

В руках ниндзя сверкнули стальные метательные шары, и эсэсовцы попадали с пробитыми головами. Сисул схватил адъютанта за лицо, полоснул кривым ножом по горлу. Ниндзя прыгнули к упавшим эсэсовцам, проломил им грудные клетки.

Хрущев позвонил в дверь условным сигналом, отпрянул в сторону. Ниндзя изготовились.

– Баран! – произнесли за дверью.

– Баран! – громко ответил Сталин.

Хрущев дал знак ниндзя, они расступились. Сталин и Хрущев вошли первыми. Охрана втянула в комнату трупы убитых, Сисул подтер капли крови на полу, и дверь закрылась. В комнате стоял Зепп Дитрих с двумя офицерами из диверсионной школы «Цеппелин». Сталин молча протянул руку, Дитрих пожал ее, повернулся и пошел в аппаратную. Все двинулись за ним. В аппаратной лежали шесть убитых связистов, а в торцевой стене зиял пролом. Дитрих первым пролез, остальные пролезли следом. Пролом выходил в огромное полутемное помещение, заваленное ящиками с консервированными и сухими продуктами.

– Баран! – громко сказал Дитрих.

– Приятно познакомиться, – раздался насмешливый бас из-за ящиков.

Выпущенная из бесшумного пистолета пуля попала Дитриху в лоб, он повалился как мешок с картошкой.

Вошедшие посмотрели на труп.

– Рад приветствовать вас, господа, – произнес все тот же бас. – Проходите, будьте как дома.

Сталин переступил через убитого, обогнул ящики. За ними на коробках с макаронами сидел невероятно толстый человек в черном мундире рейхсфюрера СС. Голова его напоминала знаменитый гибрид тыквы и груши, подаренный академиком Лысенко на пятидесятилетие Мао Цзе Дуну. Правой рукой он поглаживал тройной подбородок, левой опирался о свое тумбоподобное колено. Крохотные глазки язвительно смотрели на Сталина. Рядом стояли трое с оружием.

– Зачем ты убил этого старого вояку, Генрих? – спросил Сталин.

– Я ему поверил, Иосиф! – усмехнулся Гиммлер.

– В чём?

– В том, что он баран! А нам с тобой не нужны бараны. Рад видеть тебя.

Гиммлер протянул толстенную руку. Сталин пожал два его пальца.

– Граф! – пророкотал Гиммлер, заметив Хрущева. – Хорошо, что все удалось.

– Все хорошо, что хорошо кончается, – с иронией пожал его палец Хрущев. – А до конца еще далеко.

– Это и есть? – Гиммлер посмотрел на чемоданчик в руке у Сталина.

– Это и есть, – Сталин поискал глазами на что бы поставить саквояж.

– Мартин, – шевельнул пальцем Гиммлер. Охранник подвинул ящик с мясными консервами. Сталин положил на него чемоданчик, открыл. Голубой свет заструился из него.

– С ума сойти! – заворчался Гиммлер, как громадная жаба, и охранники помогли ему встать.

Тяжело переставляя ножищи, он подошел к чемоданчику, вложил в мясистую глазницу монокль, прищурился:

– И такую красоту наш электрический скат собирался пустить на промышленные цели?

– Генрих, нельзя терять ни секунды, – нервно проговорил Сталин.

– Конечно, – засопел Гиммлер. – Мартин! Приступай! Охранник со шрамом на подбородке достал молоток и стамеску и стал разбивать сахар, покрывающий голубое сало. Другой человек из охраны Гиммлера вынул из портфеля мясорубку, привинтил ее к краю ящика. Третий охранник с тонкими усами подставил под мясорубку эмалированную миску.

– С Богом, – перекрестился Сталин,

Мартин передал второму охраннику кусок голубого сала, тот запихнул его в заборник мясорубки, стал быстро крутить ручку. Голубой фарш полез из решетки, стал валиться в миску. Мартин передал еще кусок, потом еще. Охранники сосредоточенно работали.

– А растопить нельзя? – устало потер виски Сталин.

– Взрыв тысячи водородных бомб не нагреет его даже на миллионную долю градуса, – сумрачно проговорил Хрущев.

– Ты устал, Иосиф, – улыбался Гиммлер. – Тебя утомил наш венский конденсатор?

– Нас утомило ожидание, – Сталин опустил на ящик с консервированными сардинами. – Эти сутки... дороже полжизни.

Гиммлер понимающе кивнул:

– Я тоже совсем не спал.

Мартин достал три стакана и три марли. Две дал охранникам, одну оставил себе, положил в нее немного голубого фарша и осторожно выжал над стаканом. В стакан закапала голубая светящаяся жидкость. Охранники вслед за ним зачерпнули и выжали фарш в свои стаканы.

– Стерильность важна? – зевнул Сталин. Гиммлер с кошачьей улыбкой отрицательно покачал головой.

Пройдя анфиладу, с торчащим из брюк членом, Гитлер надавил на деревянный цветок в узоре резного буфета. Буфет поехал в сторону, открывая проем. Гитлер юркнул в него, спустился вниз по лестнице и оказался в сером просторном бункере. За большим массивным столом сидели и дремали двенадцать человек в камуфляжной форме. Завидя Гитлера, один из них вскочил:

Господа офицеры!

Сидящие вскочили. Гитлер махнул рукой:

– Вольно, садитесь. Отто, доложи обстановку.

Полноватый одноглазый Скорцени заговорил четким голосом:

– Мой фюрер, свинья уже здесь. Как вы и предполагали, они использовали подземную дорогу.

Гитлер с усмешкой заправил член:

– Ваш фюрер еще способен ловить кошек в темной комнате. Даже если их там нет. Все готово?

– Так точно! – щелкнул каблуками Скорцени.

– Тогда – с Богом, Отто. Господа! Офицеры вскочили и вытянулись,

– Ваша задача – уберечь вещество и моего лучшего друга. Жизнь остальных в этой истории меня не интересует. Вперед!

Подхватив автоматы, штурмовая группа скрылась за стальной дверью.

Гитлер сел за стол, снял трубку телефона:

– Что происходит в зале?

– Все спокойно, мой фюрер, – доложил голос, – Сталин и Хрущев вышли. – Что делает Борман?

– Ест, мой фюрер.

– Начинайте операцию «Червяк».

Слушаюсь.

Гитлер положил трубку, заметил на тыльной стороне своей руки каплю спермы, поднес руку к лицу и задумчиво слизнул мутноватую каплю.

На столе лежал свежий номер «Volkischer Beobachter». Гитлер рассеянно посмотрел на газету. Последние годы он не читал ее, считая вульгарной.

Номер открывался большой статьей Бертольда Брехта «Остерегайтесь плевать против ветра!»

Гитлер двумя пальцами подтянул к себе газету, начал читать:

*Наша гнилая псевдоинтеллигенция, вскормленная заокеанскими плутократами и местными Агасферами Упадка и Разложения, снова поднимает голову. Вообразив себя Зигфридом Разрушения, уже искупавшимся в крови «поверженного» дракона Великой Народной Культуры, она в очередной раз готова плюнуть в лицо народа ядовитым плевком культурного сифилитика...*

Брезгливо поморщась, Гитлер отодвинул газету.

Оркестр в зале играл «Грезы любви», когда офицер СС чярко приблизился к Борману, наклонился:

– Господин Борман, вас вызывает доктор Геббельс.

– Он же в отпуске на Цейлоне? – Борман недовольно кинул на тарелку недоеденное крыло фазана.

– Рейхсминистр прервал отпуск и только что прибыл в Берлин, – доложил эсэсовец.

Борман вытер жирные губы, встал:

– Прошу прощения, господа. Неотложные дела.

– Мартин! Неужели и вы нас покинете? – воскликнула Ева.

– Дорогая Ева, срочный звонок из Берлина. Но это не надолго, – с легким полупоклоном Борман заторопился к выходу

– Невыносимо жить с вождями, – вздохнула Ева, лениво жуя миногу.

– Когда они такие деловые? – улыбнулся фон Риббентроп.

– И такие темпераментные, – с улыбкой посмотрела Эмми Геринг на Еву.

– Всё, рейхсфюрер, – охранник отжал последнюю порцию голубого фарша.

– Отлично, – Гиммлер посмотрел на три стакана с голубой жидкостью, достал из кармана металлическую коробку, протянул охраннику – И побыстрей.

Охранник открыл коробку. В ней лежали три больших шприца. Каждый из охранников взял по одному, опустил иглу в свой стакан и стал набирать жидкость.

– Приступим, господа, – Гиммлер протянул Сталину и Хрущеву резиновые жгуты.

– А... какова доза? – Сталин расстегнул опаловую запонку, стал закатывать рукав.

– Чем больше, тем лучше, Иосиф, – Гиммлер с трудом сдвинул рукав со своей ручищи.

– Вы уверены? – Хрущев перетянул свое предплечье жгутом.

– Граф, если я что-то говорю, значит я в этом уверен.

– А эти... молодцы, они... попадут в вену? – спросил Сталин, недоверчиво глядя на трех охранников со шприцами.

– Иосиф, они попадут во что угодно, – Гиммлер первым положил свою перетянутую руку на ящик, сжал огромный кулак. – Господи, неужели я перестану быть толстым?

– А я горбатым, – нервно усмехнулся Хрущев.

– Это... совсем не важно... – Сталин подготовил свою руку – Вообще... я представлял, что все произойдет в более приличной обстановке... Генрих! Мы даже не попрощаемся с миром?!

– Нет времени, Иосиф. Электрический демофоб хитер и коварен.

– Свинство! Свинство! – выкрикнул Сталин.

– Мой друг, от рая нас отделяют секунды.

– Тогда я – первый! – Сталин положил свою руку рядом с рукой рейхсфюрера.

– Иосиф... – Хрущев нервно засмеялся. – Я не верю... это... какой-то бред...

– Заткнись, дурак! – прикрикнул на него побледневший Сталин. – Колите быстрее!  
Охранник Мартин взял его запястье.  
Внезапно решетки на трех вентиляционных каналах отвалились, из темноты высунулись автоматные дула и изрыгнули шквальный огонь.  
– Шприцы! – пронзительно закричал Гиммлер, тяжело валясь на пол.  
Охрана заметалась вокруг вождей. Но пули быстро и точно устраняли ненужный человеческий материал. Вскоре вокруг забившихся между ящиками вождей лежали окровавленные трупы.  
Огонь прекратился.  
Из вентиляционных каналов стали выпрыгивать подопечные Скорцени.  
Сталин поднял голову Два шприца лежали на ящике, один, разбитый, валялся на полу. Неподалеку умирал простреленный в лицо Сисул.  
Сталин подполз к нему.  
– Хозяин... – прошептал Сисул, переводя глаза на Сталина.  
Сталин положил ему руку на смертельно вспотевший лоб.  
– Хозяин... – выдохнул Сисул и задрожал в агонии. Сталин тронул пальцем его трепещущие губы.  
– Господин Сталин, вы свободны! – раздался голос Скорцени.  
– От чего, болван? – Сталин поискал глазами Хрущева. Граф с перетянутой жгутом рукой выглянул из-за простреленного ящика с рисом.  
Ручейки рисовых зерен мягко струились из дыр. Хрущев равнодушно глянул на трупы своих ниндзя и Аджубы. Гиммлер заворочался на полу, приподнялся:  
– Кретины, вы разбили шприц!  
– Это не проблема, – Скорцени дважды выстрелил ему в голову  
Зарывав, Гиммлер метнулся к нему. Юркий Скорцени отпрыгнул, полутонная туша вломилась в стену из ящиков. Автоматчики нажали на гашетки, шпигуя свинцом эту гору мяса. Но рейхсфюрер не хотел умирать, – яростно круша ящики с лапшой, он выбирался из них, чтобы кинуться на убийц. Скорцени подбежал, вложил ему дуло в ухо и выстрелил. Гиммлер перестал барахтаться, повернулся и недоверчиво посмотрел на Скорцени. Тот выстрелил еще, еще и еще раз.  
– Зассанец, – пролепетал рейхсфюрер кровавыми губами и рухнул на Скорцени.  
На этот раз Отто не увернулся – туша накрыла его, раздался хруст костей и хриплый задавленный крик.  
– Собирайте, собирайте немедленно! – закричал Сталин, суется возле разбитого шприца.  
– Иосиф, нам хватит, – поднялся с пола Хрущев. Скорцени продолжал вопить. Один из офицеров выстрелил ему в невысокий лоб, навел автомат на Сталина:  
– Вы должны подняться наверх, господин Сталин.  
– Я это сделаю и без вашего автомата, – Сталин держал в руках по шприцу и, не отрываясь, смотрел на них. – Mon cher, ты уверен, что нам хватит?  
– Нет никакой разницы между дозами. Один кубик или миллион – все равно. Гиммлер перестраховщик. Как всякий немец.  
Сталин наступил ногой на разбитый шприц:  
– Почему мы не додумались с тобой, что голубое сало – это *препарат* ? Почему об этом знали немцы?  
– Иосиф, не мучай меня... – размотал жгут на руке Хрущев.  
– Ради чего мы везли это сюда? Новое оружие! Новое оружие! Чтобы поделиться с электрическим? Он сейчас скажет спасибо русским дуракам!  
– Не мучай меня!! – закричал граф, наливаясь кровью.

Наверху в Небесном зале продолжался ужин За огромным окном уже светало.

Оркестр играл, слуги подали десерт. Собак убрали. Геринг и фон Риббентроп пытались развлекать гостей. Доктор Морелль мешал им, нагоняя легкую оторопь своими неуместными монологами. Надежда тоже сидела за столом. Весты не было.

Вдруг вошел Гитлер, хлопнул в ладоши;

– Finita! Оркестр смолк.

– Всё! – Гитлер подошел к столу, обвел глазами сидящих и расхохотался. – Вот и всё!

Баран! Баран! Баран!

Геринг и фон Риббентроп стали медленно приподниматься со стульев.

– Баран! Баран! Баран! – кричал Гитлер.

– Где? – искренне спросил Морелль.

– Мой фюрер... – затрепетал фон Риббентроп.

– Всё! – Гитлер опустил на колени, глянул в сверкающий потолок, осенил себя крестом. – Великий Боже, это свершилось!

В зал в сопровождении бойцов погибшего Скорцени вошли Сталин и Хрущев. Старший офицер подошел к коленопреклоненному Гитлеру, протянул два шприца с голубой жидкостью.

– Свершилось, – прошептал Гитлер, беря шприцы в руки и прижимая их к лицу

Вошла Веста в новом наряде – вечернем платье молочного бархата, с коротким жакетом из белой кожи на плечах. Волосы ее были заплетены в косу

Увидя отца под дулами автоматов, она остановилась.

– Свершилось... – шептал Гитлер среди всеобщей тишины.

– Папа... что это? – Веста подошла к отцу

– Все в порядке, – мрачно произнес Сталин, не глядя на нее.

Раздался сдавленный стон и охрана втокнула в зал Бормана. Он был в натальной рубашке, в наручниках, с заклеенным ртом. Завидя коленопреклоненного фюрера, он бухнулся на колени и, мыча, пополз к нему. Но Гитлер легко встал и, неотрывно глядя на шприцы, медленно двинулся по залу:

– Голубая кровь... а не новое оружие.

– Адольф, ты совершаешь ошибку, – сказал Сталин.

– Свинья, – прошипел Геринг, с ненавистью глядя на ползущего и мычащего Бормана.

– Колбасники! – презрительно скривил губы Хрущев.

– Только кровь... только новая кровь спасет мир... – шептал Гитлер.

Неожиданно Надежда выхватила из своей сумочки гранату-лимонку, неловко выдернула чеку и кинула в Гитлера. Веста завизжала. Охранники нажали на гашетки автоматов, пули впились в тело Надежды.

Лимонка стукнула Гитлера в спину, отскочила и завертелась на полу. Он недовольно обернулся на треск автоматов, увидел оседающую Надежду.

– Граната!! – крикнул Геринг.

Гитлер повел головой, ища взглядом на полу. Как только его голубые глаза остановились на черном ребристом корпусе лимонки, раздался взрыв. Чугунные осколки прошили тело Адольфа, взрывной волной его отбросило на пол. Один из шприцев разнесло осколком, другой остался в руке фюрера.

Сталин оттолкнул охранника и кинулся к Гитлеру Дула эсэсовских автоматов повернулись в его сторону. С разбега Сталин бросился на полированный мрамор пола, заскользил по нему к бьющемуся в агонии фюреру. Затрещали автоматы. Но пули прошли над телом Сталина, кроша синюю яшму стен. Врезавшись в Гитлера, Сталин выхватил из его руки шприц.

– Не смей! – цеплялся за шприц Гитлер. Сталин воткнул шприц себе в глаз.

– Только не в мозг! – захрипел окровавленный фюрер, борясь со Сталиным.

Сталин схватил его за руки, размахнулся головой и, упершись рукояткой поршня в лоб Гитлера, надавил. Игла прошла сквозь глазное яблоко, проколола кость глазной впадины. Голубое сало хлынуло в мозг Сталина.

– Ты же не знаешь... – пускал кровавые пузыри Гитлер. – Мясник кремлевский... ты ничего не знаешь... Мозг Сталина стал расти. Череп вождя треснул.

– Это... я! – успел проговорить Сталин.

Мозг разорвал его череп, раздулся бело-розовым шаром, коснулся стены и стола. Стол поехал на мечущихся гостей, давя их, стена треснула. Мозг поднялся до потолка Небесного зала. Потолок затрещал. Охрана и остатки гостей бросились бежать из зала. Стена рухнула. Вслед за ней обрушился потолок. Дрожь прошла по дворцу Мозг рос, круша здание. Готические арки крошились, мрамор и кирпичи сыпались вниз, поднимая тучу пыли. Медная чешуя крыши взбугрилась, лопнула. Мозг поднимался над домом восходящее солнце блестело на тугих извилинах. Грохот сотряс дворец, и он рухнул в клубах пыли. Мозг подмял пыльные руины, расширяясь, коснулся векового хвойного леса. Затрещали, падая, деревья, закружил потревоженный снег. Мозг раздавил дом Бормана, столкнул в пропасть виллу Геринга, растер о скалу отель «Zum Turken». Вскоре все плато Оберзальцберга было занято мозгом Сталина. Розово-лиловые края его свесились вниз. Гул прошел по Альпам. Снежные лавины сорвались с гор. Обезумевшие овцы и люди полетели в пропасти. Птицы метались. Горные озера выплеснулись из берегов. Мозг рос. Гора, держащая его, треснула и обрушилась. Мозг рухнул вниз. Землетрясение пронеслось по Альпам от Линца до Бодензее. Облако пыли поднималось над дрожащими вершинами. Мозг рос. Извилины шевелились, поднимаясь к лазурному горному небу густая тень скользила по земле, накрывая города и деревни. Вскоре она коснулась Мюнхена, а через полчаса сонный город уже хрустел под мозжечком Сталина. Лобные доли поехали на юг, сдвигая Альпы, сбрасывая их в Адриатику. Сероватый мозжечок упорно полз на север, накрывая дремлющую Германию. Правое полушарие двигалось на запад, утюжа французские поля, левое сотрясало восточную Европу. Блестящий лиловый купол поднимался над миром. К полудню он коснулся облаков. К трем часам правое полушарие столкнуло в Атлантику обезумевший Лиссабон и рухнуло следом, подняв километровую волну Левое полушарие, раздавив Москву и Санкт-Петербург, уперлось в Уральские горы и поволокло их по тундре Западной Сибири, счищая землю с вечной мерзлоты. Мозжечок, расправившись со Скандинавией, ухнул в Ледовитый океан, тревожа тысячелетние льды. К вечеру Последнего Дня Земли мозг Сталина накрыл полмира. Другая половина скрылась под водой. Еще через сутки Земля, перегруженная мозгом Сталина, сошла со своей орбиты и притянула к себе Луну. Но через 3598 суток мозг уже в 112 раз превышал диаметр Солнца и, раздробив его на 876 076 жидких частей, всосал в себя. Планеты бывшей Солнечной системы стали спутниками мозга. А потом упали на него. Мозг Иосифа Сталина постепенно заполнял Вселенную, поглощая звезды и планеты. Через 126407500 лет мозг превратился в черную дыру и стал сжиматься. Еще через 34564007330 лет он сжался до естественного размера мозга Иосифа Сталина. Но масса мозга вождя в 345000 раз превышала массу Солнца. Тогда Сталин вспомнил про грушу. И открыл глаза. Его комната без мебели, с единственным эстиконовым столом, была слабо освещена подвижным потолком довоенного образца. Живо родящие обои вяло шевелились на стенах. Сталин посмотрел на свои рябые старческие руки, протянул усохшую правую и взял из желтой вазы очищенную грушу.

Сок блестел на ее гранях.

Он поднес ее к усам, открыл рот и откусил. Груша была сочной и сладкой.

Сталин медленно прожевал, откусил еще. Неторопясь, он съел грушу вместе с косточками и шершавой сладкой сердцевинкой, кинул веточку в вазу Вытер усы ладонью, подвинул к себе нефритовую пепельницу с трубкой, серебряной спицей расковырял пепел в трубке и не спешно выбил ее о край пепельницы. Новая коробка папирос «Герцеговина Флор» лежала справа на столе. Сталин взял ее, желтым ногтем прорезал наклейку, раскрыл коробку вытянул папиросу, отломил мундштук и запихнул гильзу с табаком в черное жерло трубки. Вытянул еще три папиросы и поступил с ними точно так же. Когда трубка

оказалась полной, Сталин поковырял в ней спицей, вытащил обрывки папиросной бумаги, примял табак прокуренным пальцем правой руки и взял трубку в зубы.

Длинные спички «Дальстрой» лежали рядом.

Сталин раскурил трубку и, попыхивая ею, перевел взгляд на книгу, лежащую слева. На сером коленкоровом переплете было оттиснуто:

**Н. И. Петренко**

### **Механическая обработка голубого сала**

Сталин раскрыл книгу, пролистнул титул с пометкой «для внутреннего пользования», нашел оглавление, повел по нему рябым пальцем, уперся в главу IV, подчеркнул ее ногтем: – Так. Страница... шестдэсят пять.

Полистал, нашел шестьдесят пятую страницу, с хрустом разломил книгу, провел посередине рукой и стал читать:

## **Глава IV**

### **Основные виды соединения шматков**

#### **1. Сплачивание**

Сплачивание – соединение шматков голубого сала в пласты. При сплачивании из узких и широких шматков получаются пласты нужных размеров.

Сплачивание может производиться различными способами. Наиболее часто встречается сплачивание из узких шматков на гладкую фугу, на сальную рейку, в четверть, в паз и гребень прямоугольный или треугольный и в «ласточкин хвост» (рис. 43).

Шов, образуемый при соединении шматков, называется фугой.

Ширина щита определяется шириной шматков и их количеством.

Большое значение при сплачивании имеет правильный подбор шматков по направлению сальных волокон. Шматки, склеиваемые на гладкую фугу (рис. 43а), должны иметь гладкие и ровные кромки по всей длине. Для получения качественного шматка, нужно кромки его фуговать электрофуганком строго под прямым углом к оси шматка. Если при соединении кромок смежных шматков не обнаруживается просветов, то прифуговка выполнена качественно.

Сплачивать на гладкую фугу можно также вставными сальными шипами, изготавливаемыми из голубого сала по методу И. Самохина (рис. 48-51). При этом диаметр шипа должен составлять не более половины толщины шматка, а длина равняться 8-10 диаметрам его.

Шипы следует располагать с шагом 10-15 мм.

При соединении на сальную рейку (рис. 43б) по кромкам шматков выбираются пазы, в которые вставляют рейки, соединяющие между собой шматки. Ширина паза и толщина рейки должны составлять 1/3 толщины шматка.

При сплачивании в четверть в соединяемых шматках выбираются по всей длине кромки четверти (рис. 43в). Глубина и ширина четверти обычно составляют половину толщины шматка.

Сплачивание в паз и гребень производят путем отборки по всей длине кромки с одной стороны шматка паза, а с другой – гребня. Соединение в паз и гребень может осуществляться в прямоугольный гребень (рис. 43г) и реже в треугольный (рис. 43д), так как он имеет меньшую прочность и способствует разрыву сальных пластов.

Сплачивание в «ласточкин хвост» применяется при изготовлении...

– Ну что там, рипс лаовай? – раздался громкий молодой голос. – Долго мне ждать еще?!

– Все... – дернулся Сталин, торопливо вытаскивая трубку изо рта, приподнялся со стула. – Все готово, гаспадин ST. Я все нашел...

– Чего же ты завис, шагуа? Скользи быстро!

– Слюшаюс, – Сталин сунул недокуренную трубку в пепельницу, взял книгу, заложив пальцем страницу, скрипя сапогами засеменил к водяной двери.

Перед дверью остановился, произнес:

– Зэркало.

Появилось зеркало.

Сталин недоверчиво посмотрел на себя – желтолицего старика с редкими рыжеватыми усами, обвислым носом, низким рябым лбом, бесцветными глазами и седыми, зачесанными назад волосами. Поправил клапан на белом кителе, кашлянул и шагнул в дверь.

Булькнув, она впустила его в большую, ярко-оранжевую комнату. Голый, невероятно худой молодой человек полулежал на огромном подиуме, утопая в шевелящихся ворсинках живородящей шерсти. Неестественно белая кожа его была покрыта подвижной татуировкой: 69 иссиня-черных дельфинов непрерывно появлялись и исчезали на его груди и руках. Мраморная пластина сложной формы обтягивала голый череп молодого человека и плавно уходила под кожу. Белые глаза его смотрели на парящую красную пирамидку – стабилизатор М-баланса. Юноша жевал вяленую саранчу и потягивал пиво из узкого стакана.

На полу, на стальной доске лежал пласт голубого сала, сращенный из узких шматков.

– Разрешите, гаспадин ST? – произнес Сталин своим бесцветным голосом.

– Ты совсем V-2 потерял, старый сятоу? – проговорил юноша высоким голосом, обнажая сиреневые зубы.

– Я все нашел, гаспадин ST, – Сталин раскрыл книгу. – Вот, здесь в главэ номэр четыре напысано: сплачивание в прямоугольный грэбень гараздо надежней, чем сплачивание в трэугольный.

– А это что? – показал юноша глазами на голубое сало.

– А это и есть сплачиванные имэнно в прямоугольный грэбень, гаспадин ST.

– И он, по-твоему, – надежен?

– Савершенно надежен, гаспадин ST.

– Ты уверен, рипс нимада?

– Я абсолютно уверен, гаспадин ST. Юноша кинул в Сталина саранчой:

– А если по швам расползется, как у Сидни Новикофф?

– У нее сплачение было на гладкую фугу, гаспадин ST. Паэтому и распадалось.

– А если сделать «ласточкин хвост»? – юноша почесал свой расшитый бисером член.

Сталин прижал книгу к груди:

– Гаспадин ST. Паймыте, пожалуста. Саедынение шматков тыпа «ласточкин хвост» применяется только... Раздался сигнал получения голубиной почты.

– От кого это, рипс сяобенъ? – поставил стакан юноша.

– Я сэйчас прынесу, – Сталин вышел, положил книгу на свой стол и по винтовой лестнице с трудом поднялся на крышу.

Там было мокро и промозгло – мартовский ветер гнал по небу клочья облаков, внизу погружалась в сумерки Москва.

Клон-голубь размером с гуся сидел в стальной клетке и ритмично дергал серой, переразвитой грудью, Узловатые лапы со свирепыми когтями намертво вцепились в клетку Сталин вытянул из гнезда электрод, подошел к клетке. Кося большими черно-желтыми глазами, голубь раскрыл мощный клюв и зашипел. Сталин тронул почтаря электродом. Голубь дернулся и забился в слабой агонии. Сталин открыл клетку, вытянул из гнезда электронож и умело разрезал голубя пополам. Изношенные крылья птицы мелко трепетали. Сталин вынул из желудка почтаря серебристую капсулу, смахнул тряпкой

кровь, сунул в карман кителя. Затем нажал педаль, и обе половины клон-голубя провалились в мусоропровод.

Сталин спустился вниз, протянул капсулу юноше:

– Прашу вас, гаспадин ST

Тот взял капсулу, раскрыл. В ней оказалась полоса свернутой рисовой бумаги, исписанная мелким почерком. Юноша прочел вслух:

## **2 января.**

Привет, mon petit.

Тяжелый мальчик мой, нежная сволочь, божественный и мерзкий топ-директ. Вспоминать тебя – адское дело рипс лаовай, это *тяжело* в прямом смысле слова.

И опасно: для снов, для L-гармонии, для протоплазмы, для моего V-2.

Еще в Сиднее, когда садился в траффик, начал вспоминать. Твои ребра, светящиеся сквозь кожу, твоё родимое пятно «монах», твоё безвкусное tатоо-рго, твои серые волосы, твои *тайные* цзинци, твой грязный шепот: поцелуй меня в ЗВЕЗДЫ.

Юноша зевнул, кинул письмо на пол:

– Все-таки пенътань этот Глогер, а? Сталин осторожно пожал сутулыми плечами:

– Нэ очень умный человек.

Юноша отхлебнул пива:

– Tатоо-рго я уже полгода не ношу, серых волос у меня в помине не было, рипс шен шен. А в ЗВЕЗДЫ целовать липкий Boris никогда не умел. Он умел одно – сопливить отношения. А ты знаешь, сяочжу, как я не выношу этого.

Он встал:

– Значит, ты уверен, что прямоугольный гребень не подведет?

– Абсолютно, гаспадин ST.

Юноша потянулся своим тонким телом, хрустнул костяшками пальцев и визгливо выкрикнул:

– Зер-ка-лааа!

Вокруг него поплыли три зеркала.

– Набрось, – приказал он Сталину.

Сталин осторожно поднял со стальной доски пласт голубого сала и накинул на костлявые плечи юноши. Составленная из 416 шматков, накидка светилась голубым, доходя юноше до пояса. Сталин застегнул замок молибденового ошейника. Юноша поправил его, уперся руками в бедра, неотрывно глядя в плывущие зеркала:

– Если я на Пасхальном балу раскрашу носорога – пойдешь к моему деду в навигаторы.

– Все будет харашё, – натянуто улыбнулся Сталин. Юноша покружился, накидка тяжело прошелестела.

– Ну? Похож я на Фэй Та? – спросил он свое отражение.

– Как двэ капли, – ответил Сталин, и с хорошо скрытой ненавистью посмотрел на него.

## **Ирина Рувинская<sup>107</sup>**

### **Об авторе:**

*Ирина Рувинская родилась в городе Курсанове Тамбовской области. Окончила английское отделение факультета романо-германской филологии Воронежского Госуниверситета. Работала библиотекарем, переводчиком, журналистом.*

*Автор книг стихов и переводов “Коммуналка” (Харьков, 1995) и “Пока” (Москва, 1996). Печаталась в журналах “Радуга”, “Простор”, “Лицейский вестник”, “Литературное обозрение”; в коллективном сборнике “Отчий дом” (Харьков, 1988), в “Антологии современной русской поэзии Украины” (Харьков, 1998) и др.*

*Лауреат конкурса на лучшие переводы эстонской поэзии (1984).*

*Репатриировалась в Израиль в 1996 году. В 1997-1999 гг. училась в докторантуре Иерусалимского университета. Лауреат фестиваля поэзии памяти Ури-Цви Гринберга (2006). Живет в Иерусалиме.*

## СОСТРАДАНЬЯ НЕМЕСТНАЯ СКРИПКА

\* \* \*

Памяти О. Д. А.

вдруг он спрашивает как звали мою первую учительницу  
в ту же секунду отвечаю Ольга  
а он «нет»  
эй постой-ка  
я что же не помню свою первую учительницу

кареглазая было ей немного за сорок  
короткая стрижка  
на лбу слева маленький шрам  
отглаженные сарафаны  
блузки светлые без оборок  
всё-всё в ней нравилось нам  
а девятого надевала два ордена и медали  
за что они все мы гадали  
говорила тихо  
добрая была  
и всегда защищала самую странную девочку в 1-ом «а»

папа ты ведь Ольгу Дмитриевну помнишь  
конечно а что такое  
её Алик учился у нашей мамы в шестнадцатой школе  
он на мотоцикле разбился потом  
а муж её татарин играл на баяне  
и ошивался среди всякой пьяни  
а когда мы уже собирались  
она пришла в разорённый наш дом  
и всё говорила что-то говорила  
остановить не мог никто  
и мама незаметно сто рублей положила  
в карман её рваного пальто  
по отцу была она вроде бы полька  
это же надо вспомнилось сколько  
твержу повторяю шёпотом Ольга  
но он равнодушен и туп  
а может на транслите вот так «Olga»  
и он тут же соглашается

и регистрирует меня на YouTube

\* \* \*

то погулять охота у внуков на свадьбе  
а ещё ведь не выросли дети поздние  
то готова хоть завтра  
только не стать бы  
как соседка-старушка (там симптомы куда уж серьезнее)  
вот забылось что-то  
забылось такое что-то  
что гулять у внуков на свадьбе  
опять неохота

\* \* \*

превращение живой материи в неживую  
воробьишка замёрзший  
кошка попавшая под трамвай  
в детстве это идею несло как будто простую  
типа зимой потеплей одевайся  
переходишь улицу не зевай  
но что вполголоса звучало  
в полный голос зазвучало  
нагло  
через главный вход  
это входит в обиход

\* \* \*

стыдно нервозности  
временами стервозности  
а дело просто видимо в возрасте  
в том что трудновато становится  
воз везти  
и никто не хочет уже  
роз нести  
вот и тянет порой взять всё и разнести

\* \* \*

Ю. Винер

у меня зелёные глаза

и чёрная чёлка густая  
волосы на затылке затянуты узлом  
а мордашка добрая и простая  
вроде я ещё не встречалась со злом  
молодое худое тело  
с загорелыми руками и ногами  
и всё предсказуемо как в хроматической гамме  
и я еду к другу

или глаза у меня карие с голубыми белками  
волосы длинные рыжие  
на крепкой шее «куриный бог»  
молодое худое тело  
с загорелыми ногами и руками  
уши маленькие с розовыми мочками без серёг  
и я еду к мужу

да нет  
вообще-то я пожилая тётка  
глаза у меня цвета пыли  
и без очков уже видят нечётко  
волосы редкие цвет свой давно забыли  
рыхлое белое тело  
со старыми руками и ногами  
голова замороченная долгами  
а еду я в больницу к старичку-соседу  
у него  
никого больше нету

## РУКОВОДСТВО ПО БЕЗБИЛЕТНОМУ ПРОЕЗДУ В ИЗРАИЛЕ

это как говорят наши дети калей калюта<sup>108</sup>  
вот вы вошли в автобус а кошелька почему-то  
нет  
оставлен потерян украден или в нём пять агорот  
а ехать вам надо ну скажем до Яффских ворот  
круто?

тут главное не тушеваться и пробиваться назад то есть вперёд  
(желательно чтобы за вами шли один или два человека)  
шофёру бестрепетно бросьте рак рэга<sup>109</sup>  
и невидимкой ежайте до самых до Яффских ворот

фишка в том чтобы сесть или стать к кабине спиной  
неслабо?

---

108 Проще простого! (иврит, детск.).

3 Замечательно! (арабск., иврит).

109 Минутку! (иврит).

в дар примите от ездящей так пятнадцатый год  
но лишь когда кошелёк оставлен потерян украден  
или в нём пять агорот  
как говорят наши дети сабаба<sup>110</sup>

\* \* \*

Т. Ф.

господи  
что ж такое  
а может она права  
отстать  
оставить его в покое  
пускай растёт как трава-мурава  
бедный мой муравей  
с чёлкою до бровей  
может она права  
а может  
я правей

\* \* \*

шарфов мешок и кофт полдюжины  
а дом не дом хоть волком вой  
и ты не ряженный не суженый  
а муж чужой  
и ночь не ночь  
одна бессонница  
не видно dna  
и что теперь уж церемониться  
страна не страна

\* \* \*

сто раз уже слышанные эти майсы  
с бородой анекдоты  
в сто первый слушай как в первый и притворяйся  
что это круто  
и смейся как будто  
смешнее не слышала ничего ты

вот и поверил и рад

---

<sup>110</sup> Замечательно! (арабск., иврит).

и ты рада  
что поверил  
что в этих глазах улыбка  
мелькнула (а ведь жила в них когда-то)  
вдруг посмотрел озорно как сын  
и чуть виновато  
маленьким счастьем зажглась минута  
состраданья запела неместная скрипка

## Наталья Резник

### Об авторе:

*Родилась в Ленинграде, закончила Ленинградский политехнический институт. По образованию - инженер. С 1994 года живёт в США, штат Колорадо, г. Боулдер .*

*Пишет стихи и короткую прозу. Публиковалась в стихотворных сборниках и периодике, в частности, в журналах "Чайка", "Фонтан". Детские стихи печатались в российском журнале "Веселые картинки".*

*Обладатель призов на литературных конкурсах: второе место в турнире прозы "Пушкин в Британии -2008", третье место в турнире поэзии "Болдинская осень в Одессе - 2008", третье место в турнире литературного перевода "Пушкин в Британии - 2009", лауреат Международного литературного конкурса им. Н. Гумилева "Заблудившийся трамвай" 2012.*

## От ностальгии нет лекарства...<sup>111</sup>

От ностальгии нет лекарства,  
Хоть водку ведрами хлещи.  
Перед глазами красный галстук,  
В столовой школьной снова щи,  
Тарелка липкой каши манной  
И с сухофруктами компот.  
Внизу, в медпункте, Марьиванна  
Освобожденья выдает  
Девчонкам, у которых ЭТО,  
Что нездоровы, так сказать,  
Гигиенических пакетов

---

<sup>111</sup> <http://ironicpoetry.ru/autors/reznik-natalya>

Поскольку просто не сыскать  
В аптеках, как и в магазинах,  
Где полки девственно пусты  
И загибаются в корзинах  
Морковки хилые хвосты.  
Запущенная коммуналка,  
Полураздолбанный трамвай...  
И так всей дряни этой жалко –  
Хоть водку пивом запивай!

## Невский

Невский состоит из шумов и обрывков слов,  
Толпы, автобусов, машинных гудков.  
Я лечу по нему над тысячами голов,  
Над устойчивой враждебностью трех веков.

Я чужая здесь, быть не могу чужей,  
Боюсь, что меня давно выдают уже  
Голос, глаза, нос, форма ушей  
И запись ужасная в паспорте — “ПМЖ”.

Я волос, как сказал поэт, не брала у ржи,  
Я вообще легко приживаюсь в любой среде.  
Мне все равно, все равно, все равно, все равно, где жить.  
Но я не могу родиться больше нигде.

## Мы за встречу сегодня пьем

Мы за встречу сегодня пьем.  
Я налью по двести,

Раз уж редко теперь вдвоем,  
Слишком редко вместе.

Ну, давай еще по чуть-чуть,  
А потом завяжем.  
Расскажи мне хоть что-нибудь,  
Если в сотый даже...

Кто в подземном царстве судья,  
Что наврал Вергилий?  
Вот и двое нас. Ты. И я  
На твоей могиле.

## Красавица и чудовище

Пишет красавица чудовищу письмо  
Про хозяйство, детей, завтраки и обеды,  
Мол, ты уж расколдуйся как-нибудь пока само,  
В этот раз, к сожалению, не приеду.  
Отвечает чудовище красавице,  
С трудом заставляя писать свою мохнатую руку:  
“Рад наконец от тебя избавиться,  
Видеть тебя не могу, проклятую суку!  
Не приезжай, ненавижу тебя все равно  
За то, что устал столько лет без толку дожидаться,  
За то, что понял давным-давно,  
Что не в силах самостоятельно расколдоваться”.  
Пишет красавица чудовищу: “Не хочу тебя больше знать,  
Гад, мерзавец, подлец (и всякие другие ругательства)!  
Ты же обещал, что всю жизнь меня будешь ждать.  
Не ожидала от тебя подобного предательства.  
Будь ты проклят, неменяемый зверь.

Ты же клялся, что будем непременно вместе.  
Ну, держись, завтра же приеду теперь,  
Выдерну остатки твоей свалявшейся шерсти”.

Пишет чудовище: “Прости за звериную бесчеловечность,  
Я же чудовище, человечности не учился.  
У меня впереди в самом деле целая вечность,  
Не знаю, почему внезапно погорячился”.

А жена чудовища говорит: “Опять пишешь своей одной?  
Хочешь со свету меня сжить, урод и скотина?”  
И чудовище плачет рядом со своей женой,  
А она чешет ему его горбатую спину.

А красавица читает ответ,  
Меняет дату на затертом билете,  
Как обычно, встает чуть свет,  
Работает, готовит, улыбается детям.  
И сходит, сходит, сходит, сходит с ума  
До следующего письма.

## Воспоминание

Мы спирт разбавили компотом,  
Что приготовлен был заранее.

...

Как жаль, что этим эпизодом  
Кончается воспоминание.

## Оптимистическое

Собою я нехороша,  
Толста и неуклюжа.  
Душа какая? Тьфу душа!  
Хотя бывает хуже.

Мои таланты – мой позор,  
И с каждым годом уже  
Довольно узкий кругозор.  
Хотя бывает хуже.

Я в детстве вывела закон,  
Что утешеньем служит.  
Всегда, – гласит железно он, –  
Всегда бывает хуже.

Ты это правило тверди  
В грязи, в болоте, в луже:  
Какую гадость ни найди,  
Всегда найдется хуже.  
Когда внутри тебя бардак,  
Когда бардак снаружи,  
Не хнычь, а радуйся, чудак!  
Возможно, будет хуже.

**...Я все равно упорно приезжаю...**

...Я все равно упорно приезжаю  
С той родины, которой не нужна.  
Меня встречает странная, чужая,  
Понятная, привычная страна.

И я, с какой-то неуместной дрожью

Ступая в неосвоенный простор,  
Иду домой – к надежному подножью  
Любимых кем-то колорадских гор.

## Патриотическое

И что с того, что в городе Верлена  
Я вовсе не бывала, господа!  
Не любовалась стрелками Биг Бена,  
Которые не вывезешь сюда,

И не жевала колос в русском поле  
В тоске о подмосковных вечерах,  
И не внимала пению в гондоле?..  
В ней черта с два прокатишься в горах.

И не толкалась в улочках Мадрида,  
Крутые демонстрируя бока,  
И не вливалась в бешенство корриды  
Ни в качестве тореро, ни быка!

И что с того? На что мне в эти дали,  
Тащиться неприкаянно одной?  
Вы, кто края чужие повидали,  
Поймете ль, что такое край родной?

Такой, что он один под небесами,  
До боли близкий с отроческих лет.  
Любимый край! Он весь перед глазами.  
Весь! От окна до двери в туалет.

## Бритвой глаза режущий свет ли...

Бритвой глаза режущий свет ли,  
Тяжкий узел спутанных строп ли,  
Или свистящие в зимнем ветре  
Чьи-то невозможные вопли

Мешают летать, черт возьми, мешают!  
Мешают мчаться к воротам рая.  
А нам летать и не разрешают.  
Нас вообще на ключ запирают.

Вы, - говорят, - психи, сидите тихо,  
Вспоминайте товарищей увезенных.  
Потому что на всех летающих психов  
Не напасешься гробов казенных.

## Заливали реальность винами...

Заливали реальность винами,  
Водками, коньяками.  
Лежали, касаясь спинами,  
Рты зажав кулаками.

Заливали слезами горькими  
Выцветшую округу.  
Вырывали словами горькими  
Внутренности друг другу.

Это милое развлечение  
Нам прописывали от сплина.  
От заморской хандры лечение –

Детский кубик адреналина.

## Александр Городницкий

**Об авторе:**

### **Попасть в классики<sup>112</sup>**

**Известный бард и ученый Александр Городницкий разгадывает древние легенды**

Его песню "Атланты" считают неофициальным гимном Санкт-Петербурга. А в 75-летний юбилей издательство "Вита Нова" выпустило большой том сочинений, причем с предисловием профессора Александра Кобринского, специалиста по Серебряному веку.

Еще одна новая книга "Легенда о доме" издана уже в серии "Азбука-классика". "Вот так, по недосмотру, и я попал в классики", - пошутил Александр Городницкий в беседе с корреспондентом "РГ".

*Российская газета:* Недавно вы побывали в США, причем это были не обычные гастроли.

*Александр Городницкий:* Мы презентовали там сериал "Атланты держат небо". Это 34-серийный фильм-автобиография, мало кто видел его в России. Мы сделали его по моей книге воспоминаний "След в океане" с тележурналисткой Натальей Касперович. Она живет в Париже, работает для немецкого телевидения и подвигла меня на этот труд. Теперь издательство "Эксмо" предложило мне сделать де-факто книгу. Вот сейчас я ее пишу, "расшифровываю" фильм (он перегнал книгу, закончившуюся на 12-й серии). Он о России, о нашей истории. Там есть уникальная хроника, как наши братаются с немцами в 1939 году, совместный советско-фашистский парад в 1940 году. Есть кадры о ленинградской блокаде. Есть удивительная серия "На материк" о сталинском ГУЛАГе, страшная хроника соловецких лагерей. Мы шесть лет потратили на эту работу и, думаю, не зря. Надеюсь, что картину увидят наши зрители. Она именно для русских. О том, что было и, не дай бог, чтобы повторилось.

*РГ:* Да и ваш новый фильм "В поисках идиша" мало кто видел...

*Городницкий:* Это полуторачасовой документальный фильм о языке моих предков, исчезающей культуре. Сняли его Наталья Касперович и оператор Семен Фридлянд, он живет в Берлине, призер многих кинофестивалей. Монтировал режиссер Юрий Хащеватский, классик советского документального кино, работающий в Минске. В России была премьера в ИТАР - ТАСС, фильм представлял Михаил Гусман. Его показали по каналу "Совершенно секретно" и по просьбам зрителей повторяли несколько раз. Мы возили картину в Австралию, Америку, Канаду, Азербайджан. На международном независимом кино-видеофестивале в Нью-Йорке она была названа лучшей в категории "Культура". Планируем премьеру в Германии, думаем, что там фильм тоже будет актуален. Идиш - язык германской группы, близкий родственник немецкого.

*РГ:* Весной вам предлагали возглавить экспедицию. Не получилось?

---

112 Опубликовано в РГ (Федеральный выпуск) N5525 от 12 июля 2011 г. Беседовала Светлана Мазурова, Санкт-Петербург

*Городницкий: Под моим руководством должно было идти судно из Исландии в поисках Атлантиды. В Северную Атлантику, на подводную гору Ампер, где в 1984 году, опускаясь на подводном аппарате, я нашел на глубине 150 метров развалины древнего города. Но экспедицию отложили. Очень надеюсь, несмотря на возраст, что еще успею, может быть, в следующем году принять в этом участие. Я верю в существование Атлантиды.*

*В конце жизни крыша у меня, видимо, поехала. Я занимаюсь тем, что пытаюсь обосновать древние легенды с позиций современной науки (в свободное от песен время я профессор, доктор наук, академик РАН). Все это: гибель Содома и Гоморры, Атлантиды, гибель от волны цунами войска Фараона. И обосновал. Это нестандартная точка зрения. Я верю древним - Платону, Библии.*

*РГ: Помню, как-то в интервью вы говорили мне: "У меня две жизни в одной".*

*Городницкий: Я дуалист по натуре. Человек слабого характера, не могу выбрать что-то одно: между двумя женщинами, двумя специальностями. Единственное, выбрал между двумя родинами. Моя родина - Васильевский остров.*

*РГ: То есть, как Бродский, "на Васильевский остров приду умирать"?*

*Городницкий: Не знаю. Не тороплюсь. Но у меня есть стихи, переключка с Бродским:*

*Знаком мне с детства  
Чаяк этих гомон  
И монумента бронзовая рать.  
Сюда и сам я, не в пример другому,  
Когда-нибудь отправлюсь умирать.*

*У меня есть местечко на могиле моих родителей на Казанском кладбище в Царском Селе, где я недавно был. Родиться в Ленинграде для меня большая честь. Я объездил весь мир, видел великие города: от Иерусалима до Сиднея, но ничего равного Питеру в период белых ночей не знаю. И не увижу, потому что я здесь родился, это во-первых. Бог повязал меня с русским языком. Родина, по моему глубокому убеждению, это не березки, а язык. Русский - мой единственный родной язык, куда я от него поеду? Это второе. И третье - Бог дал мне большое счастье написать несколько народных песен. Меня забудут, песни будут петь. Где? В России. Вспомните судьбу двух замечательных поэтов, родоначальников авторской песни - Высоцкого, умершего здесь, и Галича, погибшего на чужбине, в Париже. Галича забыли, Высоцкого любят, поют. Умирать надо на родине.*

*У меня ощущение востребованности. В 78 лет это редкий случай. Я счастлив.*

## **Александр Городецкий** **Стихи**<sup>113</sup>

### **Созвездие рыбы**

*Смотрят звёзды с высоты неотрывно,  
Новорожденным желая удачи.  
Я родился под созвездием Рыбы,  
Это что-нибудь, наверное, значит.*

---

113 По материалам сайта: <http://gorodnitsky.com/texts/menu/index.html>

В непроглядной черноте небосклона,  
Все во власти первобытных утопий,  
Их открыли жрецы Вавилона,  
Размышляя о новом потопе.

Атлантиды припомнили гибель,  
К небу руки воздевали сухие.  
И назвали созвездие "Рыбы",  
Чтобы грозную задобрить стихию.

И, солёным обдавая дыханьем  
Хрупкой суши каменеющий остов,  
Волны пенились за зыбким барханом,  
Аравийский охватив полуостров,

Где не спали пастухи до рассвета,  
Наблюдая недвижно и немо,  
Как смещается в созвездие это  
Золотая звезда Вифлеема.

В чёрных тучах голубые разрывы  
Над нахмуренным Финским заливом.  
Я рождён под созвездием Рыбы,  
И себя ощущаю счастливым.

Беспределен океан серебристый,  
Породивший земную природу.  
И крещение, по-латыни — "баптиста",  
Означает "погружение в воду"

### **Рахиль**

Подпирая щеку рукой,  
От житейских устав невзгод,  
Я на снимок гляжу с тоской,  
А на снимке двадцатый год.  
Над местечком клубится пыль,  
Облетает вишнёвый цвет.  
Мою маму зовут Рахиль,  
Моей маме двенадцать лет.

Под зелёным ковром травы  
Моя мама теперь лежит.  
Ей защитой не стал, увы,  
Ненадёжный Давидов щит.  
И кого из моих родных  
Ненароком ни назову,  
Кто стареет в краях иных,  
Кто убитый лежит во рву.

Завершая урочный бег,

Солнце плавится за горой.  
Двадцать первый тревожный век  
Завершает свой год второй.  
Выгорает седой ковыль,  
Старый город во мглу одет.  
Мою внучку зовут Рахиль,  
Моей внучке двенадцать лет.

Пусть поёт ей весенний хор,  
Пусть минует её слеза.  
И глядят на меня в упор  
Юной мамы моей глаза.  
Отпусти нам, Господь, грехи,  
И детей упаси от бед.  
Мою внучку зовут Рахиль,  
Моей внучке двенадцать лет.

### **Евреи**

И становится страх постоянным сожителем нашим,  
С нами ест он и пьёт и листает страницы газет.  
Не спешите помочь нам - наш путь неизбежен и страшен:  
Вы спасётесь когда-нибудь - нам же спасения нет.

Меж народов иных пребываем мы все должниками.  
Не для нас это солнце и неба зелёная твердь.  
Наши деды дышали озоном газовой камеры,  
И такая же внукам моим уготована смерть.

Не бывать с человечеством в длительной мирной связи нам:  
Нам висеть на крестах и гореть на высоких кострах,  
Густо политых кровью и пахнущих едко бензином,  
И соседям внушать неприязнь и мистический страх.

Вновь настала пора собирать нам в дорогу пожитки.  
Время пряхой суровой сучит напряжённую нить.  
Истекают часы, и наивны смешные попытки  
Избежать этой участи, жребий свой перехитрить.

### **Воробей**

Было трудно мне первое время  
Пережить свой позор и испуг,  
Став евреем среди неевреев,  
Не таким, как другие вокруг,  
Отлучённым капризом природы  
От ровесников шумной среды.  
Помню, в Омске в военные годы  
Воробьёв называли "жиды".  
Позабыты великие битвы,

Голодающих беженцев быт, —  
Ничего до сих пор не забыто  
Из мальчишеских первых обид.  
И когда вспоминаю со страхом  
Невесёлое это житьё,  
С бесприютною рыжею птахой  
Я родство ощущаю своё,  
Под чужую забившейся кровлю,  
В ожидании новых угроз.  
Не орёл, что питается кровью,  
Не владыка морей альбатрос,  
Не павлин, что устал от ужимок  
И не филин, полуночный тать,  
Не гусак, заплывающий жиром,  
Потерявший способность летать.  
Только он мне единственный дорог,  
Представитель пернатых жидов,  
Что, чирикавая, пляшет "семь сорок"  
На асфальте чужих городов.

### **Фрейлехс**

У евреев сегодня праздник.  
Мы пришли к синагоге с Колькой.  
Нешто мало их били разве,  
А гляди-ка - осталось сколько!  
Русской водкой жида согрелись,  
И, пихая друг друга боком,  
Заплясали евреи фрейлехс  
Под косые взгляды из окон.

Ты проверь, старшина, наряды,  
Если что - поднимай тревогу.  
И чему они, гады, рады? -  
Всех ведь выведем понемногу.  
Видно, мало костям их прелось  
По сырым и далеким ямам.  
Пусть покуда попляшут фрейлехс -  
Им плясать еще, окаянным!

Выгибая худые выи,  
В середине московских сует,  
Поразвесив носы кривые,  
Молодые жида танцуют.  
Им встречать по баракам зрелость  
Да по кладбищам - новоселье,  
А евреи танцуют фрейлехс,  
Что по-русски значит - веселье.

\*\*\*

После дождика небо светлеет.  
Над ветвями кричит воронье.  
Здесь лежит моя бабушка Лея  
И убитые сестры ее.  
Представительниц славного рода,  
Что не встанет уже никогда,  
В октябре сорок первого года  
Их прикладами гнали сюда.  
Если здесь бы мы с папой и мамой  
Оказались, себе на беду,  
Мы бы тоже легли в эту яму  
В том запекшемся кровью году.  
Нас спасла не Всевышняя сила,  
Ограничив смертельный улов, –  
Просто денег у нас не хватило  
Для поездки в родной Могилев.  
Понапрасну кукушка на ветке  
Мои годы считает вдали.  
В эту яму ушли мои предки  
И с собой мою жизнь унесли.  
Разделить свое горе мне не с кем, –  
Обезлюдел отеческий край.  
Этот город не станет еврейским:  
Юденфрай, юденфрай, юденфрай.  
Будет долгой зима по приметам.  
Шлях пустынный пылит в стороне.  
Я последний, кто помнит об этом,  
В этой Б-гом забытой стране,  
Где природа добрее, чем люди,  
И шумит, заглушая слова,  
В ветровом нескончаемом гуде  
На окрестных березах листва.

\* \* \*

Жизнь как лето коротка,  
Видишь?  
Я не знаю языка  
Идиш,  
Достоянья моего  
Предка,  
Да и слышал я его  
Редко.  
Не учил его азы, –  
Грустно.  
Мой единственный язык –  
Русский,  
Но, состарившись, я как  
Скрою  
Разобщенье языка  
С кровью?

Мой отец перед войной  
С мамой  
Говорил на нем порой,  
Мало,  
Чтобы я их разговор  
Не понял.  
Это все я до сих пор  
Помню.  
Я не знаю языка,  
Значит,  
Не на нем моя строка  
Плачет.  
Не на нем моя звенит  
Песня,  
И какой же я а ид,  
Если  
Позабыл я своего  
Деда,  
Словно нет мне до него  
Дела?  
Вдаль уносится река,  
Жарко.  
Я не знаю языка –  
Жалко.

\*\*\*

Год за годом  
Все дороже мне  
Этот город, что сердцу мил.  
Я последний еврей в Воложине  
И меня зовут Самуил.  
Я последний еврей в Воложине  
И меня зовут Самуил.  
Всю войну прошел, как положено,  
Ордена свои заслужил.  
Босоное детство ожило  
И проносится надо мной,  
Было семь синагог в Воложине  
В 41-ом перед войной.  
Понапрасну со мною спорите,  
Мол, не так уж страшна беда.  
От поющих на идише в городе  
Не осталось теперь следа.  
До сих пор отыскать не можем мы  
Неопознанных их могил.  
Я последний еврей в Воложине  
И меня зовут Самуил.  
Одиноким остался нынче я  
И от братьев своих отвык.  
Я родные забыл обычаи,  
Я родной позабыл язык.  
Над холмами и перелесками

К югу тянутся журавли.  
Навсегда имена еврейские  
С белорусской ушли земли.  
Я последний еврей в Воложине,  
Мне девятый десяток лет,  
Не сегодня, так завтра тоже я  
Убиенным уйду во след.  
Помоги, Всемогущий Боже, мне,  
Не хватает для жизни сил.  
Я последний еврей в Воложине,  
И меня зовут Самуил.

### **Остров Израиль**

Эта трещина тянется мимо вершины Хермона,  
Через воды Кинерета, вдоль Иордана-реки,  
Где в невидимых недрах расплавы теснятся и стонут,  
Рассекая насквозь неуклюжие материка.  
Через Негев безводный, к расселине Красного моря,  
Мимо пыльных руин, под которыми спят праотцы,  
Через Мёртвое море, где дремлют Содом и Гоморра,  
Словно в банке стеклянной засоленные огурцы.  
Там лиловые скалы цепляются зубчатым краем,  
Между древних гробниц проводя ножевую черту.  
В Мировой океан отправляется остров Израиль,  
Покидая навек Аравийскую микроплиту.  
От пустынь азиатских - к туманам желанной Европы,  
От судьбы своей горькой - к неведомой жизни иной,  
Устремляется он. Бедуинов песчаные тропы  
Оборвутся внезапно над тёмной крутою волной.  
Капитан Моисей уведёт свой народ, неприкаян,  
По поверхности зыбкой, от белых барашков седой.  
Через этот пролив не достанет булыжником Каин,  
Фараоново войско не справится с этой водой.  
Городам беззаботным грозить перестанет осада,  
И над пеной прибоя, воюя с окрестною тьмой,  
Загорится маяк на скале неприступной Масады,  
В океане времен созывая плывущих домой.

### **Иерусалим**

Этот город, который известен из книг  
Что велением Божьим когда-то возник  
Над пустыни морщинистой кожей,  
От момента творения бывший всегда  
На другие совсем не похож города, -  
И они на него не похожи.

Этот город, стоящий две тысячи лет  
У подножия храма, которого нет,  
Над могилою этого храма,

Уничтожен, и проклят, и снова воспет,  
Переживший и Ветхий и Новый завет,  
И отстраиваемый упрямо.

Достоянье любого, и всё же ничей,  
Он сияет в скрещенье закатных лучей  
Белизною библейской нетленной,  
Трёх религий великих начало и цель  
Воплотивший сегодняшнюю модель  
Расширяющейся вселенной.

Над Голгофой - крестов золоченая медь,  
На которую больно при солнце смотреть,  
А за ними встаёт из тумана  
Над разрушенным Котелем - скорбной стеной,  
Призывая молящихся к вере иной,  
Золотая гробница Омара.

Этот порт у границы небесных морей  
Не поделят вовек ни араб, ни еврей  
Меж собою и христианином.  
И вникая в молитв непонятный язык,  
Понимаешь - Господь всемогущ и велик  
В многоличье своём триедином.

1991

## **НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ**

### **1**

У гранитных низких сходен,  
Где весенний ломкий лед,  
Кто-то ходит, кто-то ходит,  
Кто-то думать не дает.  
Снова память виновата, —  
Этой раннею порой  
Вынь коричневую вату,  
Рамы пыльные раскрой.  
Вытри тряпкой паутину,  
Не живи в тени.  
Стекол тонкую холстину  
На подрамник натяни.  
Ты зажги дневные краски  
В их зеленом фонаре.  
Снова солнце строит глазки  
На дворе.  
И не скажешь на восходе,  
Что за день и что за год...  
Кто-то ходит, кто-то ходит,  
Кто-то думать не дает.

### **2**

Что построено Петром,  
Не порушишь топором.  
Коренастые колонны  
Не обхватишь впятером.  
Строил царь-изувер  
Да мужик-старовер  
Для фрегатов и галер  
На голландский манер.  
Чтоб не выросла осока,  
Чтоб послы — без ума,  
Чтоб корма была высока  
И пузаты трюма.  
Впереди дома, посреди тюрьма:  
И для сердца и для ума.  
И пошло цареве дело  
Так, что шведам не до сна,  
И под пилами запела  
Корабельная сосна.  
Веселись, Россия!  
Берегись, Дания!  
Море синее,  
Море дальнее.

### 3

Сам с собой наедине  
Помолчи,  
Зацветают на стене,  
От лучей горячи,  
Кирпичи.  
И над ними грачи  
Кричат: «Хлопочи!»  
И на них водосток,  
Как рожок в ночи,  
И на них росток —  
Огонек свечи.  
Багровеют они,  
Словно голые,  
И совеют на них  
Голуби.  
И теряют слова  
Значение.  
Шелестит трава  
О течение.  
Флаги зыблются пестро  
Плавные, —  
Отправляется остров  
В плаванье.  
У гранитных плит,  
Где бензина шип,  
Часовой стоит,

Рот разинувши.  
Мойка с солнышком балует,  
Плещется,  
Часовому бабы  
Мерещатся.  
Утро синие тени  
Развесило.  
Дышат гулко стены  
И весело.  
И красны они,  
Будто выпили,  
А прошедшие дни —  
Словно выпали.  
И года не в счет,  
И беда не в счет,  
А река течет.  
Все бежит, зелена,  
Сокрушается:  
Зарастает стена,  
Разрушается.  
Как из старой печи,  
Смертью стриженной,  
Упадут кирпичи,  
Зерна рыжие.  
И лежат темно  
В теплой сырости.  
Упадет зерно —  
Город вырастет.

4

У клубов — хвосты на танцы,  
А лето грозит войной.  
Деревья, как новобранцы,  
Стриженные под ноль.  
И корюшкой пахнет ветер,  
Пыльный и озорной,  
И женские ноги светят  
Предательской белизной.  
Сегодня светло и мокро  
И небо — еще добрей.  
Зачем я опять на Мойке  
Торчу у школьных дверей?  
И как при разлуке больно,  
Когда свистят соловьи,  
И памятный «Русский бальный»  
Терзает уши мои.  
Весенние сорные воды,  
Несите меня назад.  
Верни мне, память, тревогу,  
Открой мне глаза.  
Мы раньше с тобой не ладили, —

Теперь ты должна помочь.  
Ворота Новой Голландии  
Распахнуты в белую ночь.

5

Я не любил тебя, школа,  
Я тебя не любил.  
Твои величины искомые  
Все я перезабыл.  
Даты твоих сражений  
Лежат, смиренны и тихи.  
Без всякого выражения  
Читаю теперь стихи.  
На пионерском параде  
Под знаменем не пройдешь.  
Ты нас учила правде  
И насаждала ложь.  
Мы пели песни при этом,  
Руки тянули «за»,  
В учебниках старым портретам  
Замазывали глаза.  
Да как же иначе с теми,  
Кто с нами вперед не шел?  
Твоих сочинений темы  
Запомнил я хорошо.  
И митинги, и парады,  
И пышных речей елей,  
И виноватые взгляды  
Усталых учителей,  
И памятные обиды  
Несправедливых драк,  
И то, что отца бы выдал.  
Если б сказали: «Враг».  
Но я замолчу, я вспомню  
Весенней воды настой,  
Сумерки утренней комнаты,  
Когда еще класс пустой.  
Нагретую крышку парты,  
Солнечный луч на плече,  
Пылинки над яркой картой,  
Пляшущие в луче,  
И медный гремучий колокол,  
Который свободу бил.  
Как я любил тебя, школа,  
Как я тебя любил!  
За строгость, за гулкие двери,  
За старенькое пальто,  
За то, что учила верить, —  
Не все ли равно во что?

6

Трогательно желторотые  
В апреле мы шли сюда,  
И сразу за поворотом  
Нас обступали суда.  
Пестрели флаги веселые  
Над серой хмурию воды.  
Охрипшие радиолы  
Орали на все лады.  
На кнехтах висели швартовы,  
Сурик пятнал борта.  
Здесь были мы день готовы  
Стоять, не закрыв рта.  
Учебная шхуна «Вега»,  
Учебная шхуна «Альфа»,  
Сделайте человека  
Вы из меня, пожалуйста!  
Солью язык начините,  
Солнцем сухим — кровь.  
Плавать меня научите  
Стилем лихим — «кроль».  
Я еще молод — пока что,  
Мало пожил.  
Согните мне ноги качкой,  
Оденьте в загар кожу,  
Сотрите штурвалом пальцы,  
Соврите, что смерти нет.  
На вас мне со стенки пялиться  
Еще через двадцать лет.

7

Опустели концертные залы.  
Пробудились к ночи вокзалы.  
По асфальту, по асфальту  
Ветер мусорит нотной фальшью.  
Не нарушу свои привычки:  
Рвет мне душу крик электрички,  
И хватает весна за ворот,  
И уводит она за город.  
Только вспомнить дай-ка:  
У прибрежной пены  
Дачною мозаикой  
Зацветают стены.  
На террасе зайка  
Плюшевый пылится.  
Из цветной мозаики  
Возникают лица.  
Возникают губы  
Из пунцовых стекол.  
У хозяйки Любы  
Смех такой жестокий!

Тихо плещется волна,  
Солнышко в зените.  
Ах, какая там война, —  
Лучше замолчите!  
Дачи — свежетесаны,  
Стрижены газоны.  
Молодым Утесовым  
Хрипнут патефоны.  
Люба-Любушка, Любушка-голубушка,  
Где теперь твоя седая головушка?  
Заблудился зайка,  
Утонул в трясине.  
Красная мозаика  
Выцвела до синей.  
На соседней даче  
Комнаты сдаются,  
На соседней даче  
Девчонки смеются.  
Крутят «роки» звонкие  
Вместо «кукарачи»,  
Думают девчонки —  
Все теперь иначе.

## 8

Я помню год. Горят под облаками  
Пожары продолжительней костров.  
Закована в тяжелый лед блокады  
Эскадра ленинградских островов.  
Вот, разбивая лед форштевнем острым,  
Победами морскими знаменит,  
Васильевский огнем грохочет остров  
И трубами неистово дымит.  
Вот, в общий хор вплетая голос низкий,  
Своей неистребимостью сильны,  
Бьют Каменного острова зенитки,  
Бьют пушки Петроградской стороны.  
Пусть хлеба нет, пусть коченеют руки, —  
Их экипажам неизвестен страх.  
И кренятся кварталы, словно рубки,  
И на взрывных качаются волнах.  
Ни днем ни ночью не смолкают залпы,  
Пороховой плывет, не тая, дым.  
Сражаются линкоры. Путь на запад  
Кронштадт, как флагман, указывает им.  
И держит курс сквозь лето и сквозь осень,  
Через пространства ледяных полей,  
«Голландия», российский миноносец  
В кильватере линейных кораблей.  
Высокими бортами пламенея,  
Идет она, волне подставив лаг,  
И облако пробитое над нею

В закате разгорается, как флаг.

9

А в городе, на Пряжке,  
На радужной воде,  
Буксиры дышат тяжко,  
Начиная день.  
Снуют замарашки  
Взад и вперед.  
На Пряжке, на Пряжке  
Любовь моя живет.  
Живет моя суженая,  
Безвестная пока,  
Спешит она по лужам  
Галошки в руках.  
Ей улицы-игрушки  
Апрель принес,  
Солнышки - веснушки  
Согрели нос.  
На асфальте мячики,  
Благодать!  
Торопитесь, мальчики,  
Мяч гонять.  
Загрустите, мальчики, -  
Дайте срок.  
Солнечные зайчики  
Из-под ног.  
Строят окна рожи,  
Огнем залиты.  
Кто же это, кто же, —  
Может, не ты?  
Как же обознались  
Мы с тобой?  
Стала на канале  
Вода рябой.  
Стала бестолкова  
От ветра она.  
Стала не такого  
Цвета она.  
Спи, жена.

10

Все была весна —  
Обещание,  
А теперь она —  
Как прощание.  
Снова капли звенят  
На дворе у нас.  
Ты прости меня  
Распоследний раз.

Огоньком я горю  
Над водой голубой.  
Ни при ком не горюй  
Над моей судьбой.  
Ты не плачь, не плачь,  
Что с другим тяжело.  
Будет мокрый мяч  
Разбивать стекло.  
Сложат «ладушки»  
Травы в чаше,  
Будут ландыши  
Плавать в чашке,  
Будет дождик в окне  
Светел.  
Ты забудь обо мне,  
Светик.

## 11

Оглянись поскорей:  
Век твой прожитый, вот он.  
Мимо школьных дверей  
Я иду на работу.  
Я иду, торопясь,  
Проклиная попутно  
И апрельскую грязь,  
И дождливое утро.  
Мимо старой скамьи,  
По разбитой панели,  
Где ботинки мои  
После школы звенели.  
Годы мимо плывут,  
Этих мест не затронув.  
Там студенты живут,  
Здесь — артист Ларионов.  
Знаю все наизусть  
На любом повороте —  
Эти лодки внизу,  
Эту арку напротив.  
Никакой себе впредь  
Не желаю награды —  
Мне бы здесь умереть  
И другого не надо.  
Я сошел бы с ума,  
Если б видеть не мог я  
Этот серый туман  
И асфальт этот мокрый.  
Пусть секунда замрет  
И продлится мгновенье.  
Пусть нам Мойка вернет  
Юных лиц отражение.  
Сколько ты уже лет

Унесла, моя Лета?  
Снова времени нет  
Оглянуться на это.  
Тополиных ветвей  
Ощущая заботу,  
Мимо школы своей  
Я иду на работу.

## 12

В каналах, запахших апрелем,  
Обтаявший лед, как берилл.  
Забудь на минуту о деле,  
Постой у высоких перил.  
Ведь если получше взглядеться,  
В воде, полыхнувшей огнем.  
Увидишь далекое детство  
С неведомым завтрашним днем.  
Уже нам недолго осталось  
Весной выбегать на крыльцо,  
Уже нам морщинами старость  
Зачеркивает лицо.  
Ходившему Зундом и Бельтом,  
Узнавшему горечь потерь,  
Тебе-то, тебе-то, тебе-то  
Чему удивляться теперь?  
Но сердце опять разрывает,  
Суля неизвестную жизнь,  
Пыхтенье речного трамвая,  
Скрипенье причальной баржи.  
И снова причина волнений,  
Как в давние эти года, —  
Граница гранитных ступеней,  
Где щепки качает вода.

## 13

Учительница наша умерла  
Сентябрьским утром, пыльным и багровым,  
Из класса — двое, мы плелись за гробом,  
Обдумывая срочные дела.  
Кончалось лето. Город плыл назад.  
Лепилась память — глиной на подошвах,  
И явственен был приглушенный мат  
Могильщиков, подвыпивших и дошлых.  
Учительница наша умерла.  
И вместе умер сам я, с шеей тонкой,  
Та улица с насмешливой девчонкой,  
Что в снах моих мальчишеских жила.  
Шло погребенье грамотно и быстро.  
Круг провожатых был убог и мал.  
О беззаветной жизни коммуниста

Директор речь казенную сказал.  
Стук молотка раздался и затих.  
Стояли люди хмуро и бесстрастно.  
Гроб аккуратно лег, и стало ясно,  
Что ей — не привыкать среди чужих.  
Учительница наша умерла.  
Теперь ей всходов дожидаться долго  
От жизни, что истрачена дотла  
На алтаре общественного долга.  
Мы с кладбища к местам своих трудов  
В молчанье шли. Сочился дождик серо.  
И жгла сердца нам яростная вера  
Послевоенных проклятых годов.

#### 14

Заброшены книжки.  
Свисти, постовой!  
Мальчишки, мальчишки  
Бегут по мостовой.  
Головы кругами,  
Бегут они.  
Лужи под ногами  
Зажгли огни.  
И радостно метким  
Звенеть каблукам  
По домам, по веткам.  
По облакам.  
Не верьте усталости,  
Усталость — бред.  
Нет на свете старости  
И смерти нет!  
Чего же ною ради я  
Над личной судьбой?  
Плыви, моя Голландия,  
Кораблик мой!  
Вокруг поет и ссорится  
Десятый класс,  
И все опять повторится,  
И будет в первый раз.  
Я молод и здоров еще,  
Бегу куда-то я...  
Плыви, мое сокровище,  
Юность моя!

*Экспедиционное судно «Крузенштерн»  
Северная Атлантика, 1962 г.*

#### **КОЛОКОЛ ЛЛОЙДА**

Между реклам, магазинов и бронзовых статуй,

Грузных омнибусов и суеты многолюдной,  
В лондонском Сити, от времени зеленоватый,  
Колокол Ллойда звонит по погибшему судну.  
Зрелище это для жителей обыкновенно.  
В дымное небо антенны уходят, как ванты.  
Мерно звенит колокольная песня БигБена,  
Вторят ему погребальные эти куранты.  
Стало быть, где-то обшивку изранили рифы,  
Вспыхнул пожар, или волны проббили кингстоны.  
Жирные чайки кружатся, снижаясь, как грифы.  
Рокот воды заглушает проклятья и стоны.  
Кто был виною - хозяин ли, старая пройда,  
Штурман беспечный, что спит под водой непробудно?  
В лондонском Сити, у двери всеильного Ллойда  
Колокол медный звонит по погибшему судну.  
Где ты, мое ленинградское давнее детство?  
Тоненький Киплинг, затерянный между томаами?  
Тусклая Темза мерцает со мной по соседству,  
Тауэр тонет в томительно темном тумане.  
Как же я прожил, ни в Бога, ни в черта не веря,  
Вместо молитвы запомнивший с детства "Каховку"?  
Кто возместит мне утраты мои и потери?  
Кто мне оплатит печальную эту страховку?  
Сходство с судами любому заметить нетрудно  
В углу гробу или в детской тугой колыбели.  
Колокол Ллойда звонит по погибшему судну, -  
Не по тебе ли, любезнейший, не по тебе ли?  
В час, когда спим, и когда просыпаемся смутно,  
В час, когда время сжигаем свое безрассудно,  
В лондонском Сити, практически ежеминутно,  
Колокол Ллойда звонит по погибшему судну.

1988

## ПЛАВАНИЕ

Невозможно на сфере движение по прямой.  
Отвыкаешь со временем ост отличать от веста,  
Ведь куда бы ни плыл ты - в итоге придешь домой,  
Постарев на полгода, а значит - в другое место.  
Любопытства хватает на первые десять лет,  
А потом понимаешь - нельзя любопытствовать вечно.  
На вопросы твои не пространство дает ответ,  
А бегущее время, - уже не тебе, конечно.  
Океан не земля - он меняется и течет,  
Пересечь его трудно и лайнеру, и пироге.  
Капитаны безумны - один Одиссей не в счет,  
Он домой торопился и просто не знал дороги.  
Покидающий гавань уже не вернется сюда,  
Без него продолжается шумная жизнь городская.  
От намеченных курсов вода отклоняет суда,

Из минуты в минуту стремительно перетекая.

1988

## **АБХАЗИЯ**

Нужна ль иная пища для ума,  
Когда война грохочет у порога?  
В Абхазии разбитые дома  
И мертвая железная дорога.  
И горечь забывшихся утрат,  
По-прежнему невыносимо близких.  
Стоит Сухуми, словно Сталинград,  
В развалинах и скорбных обелисках.  
И слышится гудение шмеля  
Над вешками помеченной зоной,  
Где зарастают минные поля  
Амброзией, пронзительно зеленой.  
Здесь старики, поглаживая ус,  
Припомнив вновь о самообороне,  
Поведают, как грабили Мухус  
Отважные гвардейцы Мхедриони.  
Холодный пепел выжженных квартир,  
Безлюдный берег, окаймленный пеной.  
Бог разделил окрестный этот мир  
На довоенный и послевоенный,  
Сухой лепешкой жизнь переломив,  
Струну чонгури заново настроив,  
И был, преобразованная в миф,  
Из жертв недавних делает героев.  
Историк, вспоминая старину,  
О наших временах напишет честно,  
Где первую абхазскую войну  
Он будет путать со второй чеченской.  
Страна души, вершины в серебре!  
Не дай ей снова, Господи, случиться  
Заложницей в невидимой игре,  
Где все партнеры на руку нечисты!  
Но длится день, и тает снег в горах,  
И пахарь принимается за дело,  
И школьники на шумных вечерах  
Поют стихи Фазиля Искандера.  
А солнце, устремленное в зенит,  
В соленом отражается настое,  
И тостами заздравными звенит  
Бескрайнее абхазское застолье.

## **ПИЦУНДА**

Ароматы третичных растений  
И прибойной волны полоса.  
Над Пицундой, как черные тени,  
Нежилые стоят корпуса.

На морском опустевшем вокзале,  
Одичавшем за несколько лет,  
Пароходы диковиной стали,  
Пассажиров хлопчущих нет.  
Но качается в море кораблик  
Над мерцаньем рыбацких сетей,  
И хозяин вокзала Алабрик  
Принимает почетных гостей.  
Новый тост по-абхазски небыстро  
Начинает седой тамада.  
Генералы, актеры, министры  
Здесь сидели в былые года.  
И опять за столами до ночи  
Собирают обильный улов  
Прокуроры из города Сочи  
И родня зарубежных послов.  
Дальний гром - как раскаты орудий.  
За Кодорским ущельем темно.  
Но форель серебрится на блюде,  
Золотится в бокалах вино.  
Не пустует заветное место,  
Поражая догадкой умы:  
Только пир - неизменное средство,  
Что спасает во время чумы.

### **КОРОВЫ В АБХАЗИИ**

Машины на горной дороге  
По встречной ползут полосе.  
Подобием статуй двурогих  
Коровы стоят на шоссе.  
Их морды скульптурны, как ростры,  
Над крепью расставленных ног.  
Широкие черные ноздри  
Бензиновый ловят дымок.  
Глаза их огромные сухи,  
Бесстрастен незыблемый вид,  
А овод, сидящий на ухе,  
Вот-вот укусить норовит.  
Величественные, как Боги,  
Гуденью машин вопреки,  
Застыли они, как пороги,  
В стремительном жерле реки.  
Не вздумай сигналить им трижды,  
С дороги стараясь убрать, -  
Стоит, неподвижна в подвижном,  
Их парнокопытная рать.  
Стоит над каймой голубою  
В потоке асфальтовых рек,  
Замедлить пытаясь собою  
Безумного времени бег.

*(Опубликовано в: Нева, № 3, 2004 г.)*

\* \* \*

**ЧЕГЕМ**  
(ПЕСНЯ)

Припоминаю этот мир,  
Не сказку и не быль,  
Куда гостей созвал на пир  
Мечтательный Фазиль.  
Благословенные края,  
Где знают толк в вине.  
Чегем, Чегем, страна моя,  
Ты вся горишь в огне.

Там гор зеленые бока,  
Маджари вязкий вкус  
И ароматом шашлыка  
Пропитанный Мухус.  
Прибрежной гальки толчея  
И солнце на волне.  
Чегем, Чегем, страна моя,  
Ты вся горишь в огне.

Хребта серебряный излом,  
Мерцанье спелых звезд.  
За шумным праздничным столом  
Звучит заздравный тост.  
И песни тихая струя  
Течет вослед струне.  
Чегем, Чегем, страна моя,  
Ты вся горишь в огне.

Там любят норов удалой,  
Гостями дом богат,  
Там вызревает под скалой  
Янтарный виноград.  
Народ - единая семья,  
Где честь всегда в цене.  
Чегем, Чегем, страна моя,  
Ты вся горишь в огне.

Где зрели сочные плоды,  
Четвертый год подряд  
Пылают рощи и сады,  
Идет на брата брат.  
Тебя оплакиваю я.  
Скажи, по чьей вине,  
Чегем, Чегем, страна моя,  
Ты вся горишь в огне.

*(Опубликовано в: Нева, № 3, 2003 г.)*

*(Перепечатывается с сайта: magazines.russ.ru.)*

\*\*\*

Я встретил Фазиля в Пицунде на пляже,  
В краю, существующем куплей-продажей,  
Среди суетливых, крикливых, плечистых  
Артистов, нудистов, туристов, статистов.  
В краю, где третичные сосны и нравы,  
Где бродят, брэнча на гитарах, оравы,  
Где плавится солнце в полуденном жаре,  
И терпко язык обжигает маджари,  
И тихо икринка качается в иле,  
Я встретил Фазиля.

Волна осторожная камень лизала,  
Копченою скумбрией пахла Лидзава,  
Медуза в воде колыхалась, дежуря,  
Светясь, словно лампочка в абажуре.  
На пляже, где оптом тела и поштучно,  
Где всё, как у Снайдерса, пышно и тучно,  
Запомнились мне, в очертаниях зыбки,  
Наивность его удивлённой улыбки,  
И ночь головы его, чёрного меха,  
И утро его белозубого смеха.

В тот вечер у нас собирались мы в доме.  
Янтарным огнём согревая ладони,  
Мерцало вино, колыхаясь в бокале,  
Дрожанье свечи говорило о ветре,  
И яблоки на изогнувшейся ветви  
Румяными сталкивались боками.  
Строку за строкою рождая для слуха,  
Звучал его голос то звонко, то глухо,  
И странная распространялась прохлада  
От строчек, тяжёлых как гроздь винограда,  
Меж тесных, белёных по-южному комнат.  
Как жаль, что стихи не сумел я запомнить!  
И было мне дня уходящего жалко, -  
Что в памяти тесной с собой унесу я?  
Прибой за стеной бормотал как гадалка,  
Прибрежные волны как карты тасуя.

1970

**Владимир Вишневский**

**Об авторе:**

### **Десять вопросов: интервью с В. Вишневым<sup>114</sup>**

Экспертный совет «Клаузуры» пополнился личностью во всех смыслах неординарной и весьма заметной – это известный поэт Владимир Вишневский. В этом номере он дает нашему журналу интервью.

Клаузура:

В одной интернет – версии энциклопедии известных людей о Вас сказано так: «Поэт Русского Дорубежья, выразитель дум и чаяний наиболее незащищённых в сексуальном отношении слоев населения, то есть мужчин и женщин. Отец советского Одностишия и соответствующей школы в постсоветский период.» Поскольку, судя по стилю определения, это Ваша работа, пожалуйста, расшифруйте его для широкого читателя.

Владимир Вишневский

Владимир Вишневский:

...Ага, а еще «Народный поэт России» - как говорится (мною же): «...Указа нет – по мнению народа!..» Я уже и сам в это верю... Ну, термин «Дорубежье» я породил в начале 90-х, когда слишком модно стало представлять русское за-рубежье... Отец я именно с о в е т с к о г о одностишия, поскольку первооткрывателем в чистом виде себя не считаю: были Валерий Брюсов с его «О, закрой свои бледные ноги!!..», а еще раньше Николай Карамзин: «Покойся, милый прах, до радостного утра...». Позднейшие исследователи считают, что я пошел все же по линии Брюсова, вглубь этих бледных ног... Мне повезло, пожалуй, с этой миссией – сделать Одностишие новоязом, заразив этой поэтической интеллектуальной игрой миллионы людей, вызвав к жизни массу пародистов и подражателей –пройдитесь по диким степям Интернета... Считается, что так вот счастливо совпал с эрой клипового сознания, когда на вторую строку ни у кого нет ни времени, ни сил, так что поэту все успеть надо в одной строке...

Ну а что касается «наиболее незащищенных в секс. отношении слоев...», то как поэт-натурал я всегда простодушно, но и никому не препятствуя быть с о б о й, исповедовал разнополюю Радость Жизни – ну хотя бы так, во славу Норме:

“Вот мой тост – он, как жизнь, человечен,

Я озвучу его, как почин:

За дальнейшую женственность женщин

И – за мужественность мужчин!..”

Клаузура:

Вы как-то писали, что уже будучи профессиональным поэтом Вы получили от мамы новогоднюю поздравительную открытку, где была такая фраза: “Я полюбила тебя, сынок, с первого взгляда” Если это не Ваша мистификация, то Ваша мама-таки дала вам хороший толчок. Так?

Владимир Вишневский:

Нет, я бы так не смог придумать... Да и ни к чему здесь мистифицировать. Что касается автобиографии (главного моего текста) и моих интервью, то, сдается мне, Вы в материале, так что повторяю: моя мать была выдающейся женщиной, гораздо выше и талантливее меня... С уникальным чувством юмора. Так что позвольте и дальше процитирую себя же: « Уже незадолго ДО она рассказала мне, что, когда была на пятом месяце, очень много смеялась. Соблазнительно думать, что предопределило мою скромно-нескромную возможность рассмеить и улыбнуть одновременно больше трех человек. И если люди обратили и обращают на меня благосклонное внимание, то это лишь потому, что я е е сын.

Вот и весь «хороший толчок» ...

Клаузура:

*В своем автобиографическом размышлении Вы сказали, что от отца Вам достались одни неумения: неумение интриговать, неумение превентивно нахамить незнакомому человеку. Неумение не сказать “спасибо”. Неумение не помнить добра. Как Вам живется с такими фатальными «неумениями»?*

*Владимир Вишневский:*

*Так и живется... Самоадекватно, так сказать... Сегодня верность и себе и с в о е м у все чаще называют стилем. Я как-то записал в дневнике:*

*«Друг друга нечаянно радовать  
должны мы себе во спасение.*

*Но как это стильно – оправдывать*

*И худшие опасения!..»*

*По-прежнему считаю, что нет ничего пошлее неблагодарности. А между тем есть люди, для которых гораздо проще расписаться за добро плевком в душу, лишь бы не чувствовать себя обязанным... Вокруг, вообще, все больше тех, кто заслуживает жесткого отношения, кто вышеназванные Вами добродетели склонен считать признаком слабости. И я стал жестче. И многим уже не поздоровилось. Особенно бесят те, кто на глазок назначает нам рейтинг и номинацию: вот с этим человеком так можно себя вести, а вот с этим уже нельзя... Приходится ставить на место людей с их манерой «тыкать» и т.п. Хотя и ни разу это не доставило мне удовольствия...*

*Клаузура:*

*Кроме того, Вы Действительный член Российской Академии юмора, Лауреат профессиональной премии “Золотой Остап”, Народный поэт России. Чувствуете отягощенность титулами и званиями?*

*Владимир Вишневский:*

*Да, бросьте, у других всего этого гораздо больше!.. Почему бы не носить пару титулов, в т.ч. и заслуженных, не иметь своего Ордена Подвязки. Орден Солнца, на худой конец. Не отказываться же мне было в 2002 от премии «Золотое перо России»... Главное, не терять самоиронии, которая, по моему выстраданному убеждению, есть истинно серьезное отношение к себе.*

*Клаузура:*

*Правда ли, что Вы следуете максиме Эрнеста Гофмана: “Нужно делать только то, что дается легко, но делать это изо всех сил”?*

*Владимир Вишневский:*

*В целом, «по жизни» я ей уже последовал... Хотя это не означает, что нам всегда, в любые жизненные периоды, удастся следовать таким вот хорошим избранным максимам. Особенно, что касается, «из всех сил»...*

*Клаузура:*

*Вы часто ссылаетесь на поэта Алексея Дидурова, называя его своим учителем. Что из его поучений и напутствий реализовалось в Вашей жизни, в Вашей судьбе? А что еще предстоит осуществить?*

*Владимир Вишневский:*

*К несчастью моему и всеобщему, минувшим летом мы потеряли Алексея... Светлая ему память. Скорбят самые разные и хорошие люди. Мне уже его дико не хватает. Он всегда восхищал меня и своим талантом, и верностью себе, и внутренней свободой в условиях ее тотального дефицита... Поэт Алексей Дидуров – это высокий урок Достоинства. Российская словесность еще осознает к о г о она потеряла. Когда-то он поверил в меня, обнадежил, открылил, видимо, почувствовав потенциал – в работе со словом... Каждую субботу я летел в его кочующее по Москве литературное кабаре «Кардиограмма», чтобы выступить с новыми стихами. Это уже потом продвинутые люди сформулировали, что там, у него мы учились культуре публичного поведения. Это Дидуров научил меня «кайф процесса» ставить выше «кайфа результата».*

*Мы и спортом вместе занимались, и ругались, и дружили взазос, и про тараканов наших все понимали. Только с ним были возможны шедевры общения, которых не забыть...*

*Жить надо так, чтоб не сказали: «Помер» И чувство самоуважения – так сказать, по «результатам собственной деятельности» – чтобы возникало и -держало тебя на плаву. Думаю, что ответил на Ваш вопрос...*

*Клаузура:*

*Есть такая мифологема: счастье – это возможность оказаться в нужное время в нужном месте. Вы можете так сказать о себе?*

*Владимир Вишневский:*

*Ну, это, скорее, определение удачи... Периодичность которой тоже не бывает случайной... Названной Вами возможности даже небеса не могут гарантировать. Они по своему разумению отпускают и дозируют нам... А в зрелости так называемой понимаешь, что, как бы ни бывало трудно сегодня, когда лучшие фотографии уже в прошлом, -о сколько же счастья выпало на твою долю, сколько могло не произойти. не осуществиться!.. Так что один рефрен я признаю для себя: «Еще скажи спасибо, Что....» Скажи спасибо, что это ты зарабатываешь на жизнь тем, что умеешь, то есть любимым делом. И это тебя гримируют, и тебе вешают петличку микрофона. И у тебя на улице берут автограф, а сейчас вот – интервью... Извините. Счастье распробовать и осознать все посылно хорошее, что с тобой происходит, пока оно есть, а не когда уже потерял... «Успейте на свободе и при жизни...»*

*Клаузура:*

*В ваших стихах зачастую причудливо сплетается тонкая политическая полу-сатира и сугубо интимные намеки. Например: “Во имя завтрашнего дня я больше и горы не сдвину, но настоящее меня волнует даже, как мужчину”. Что еще Вы написали о дне сегодняшнем как политическом или экономическом бытии?*

*Владимир Вишневский:*

*Ну, для этого стоит отослать к моей дай Бог не последней книге, вышедшей в «Астреле» «Вишневский Сад. Быть заменимым некрасиво». Там все есть. Ограничусь одним знаковым примером, – когда давно написанным стихам жизнь возвращает актуальность – как, скажем, вот этим, из 1997-го:*

*” О, как все до оскомины знакомо!..*

*Когда в подъезде собственного дома*

*Из ящичка раздолбанного взмыв -*

*Рекламка «Уничтожим насекомых»*

*Звучит как политический призыв...”*

*Клаузура:*

*В одном из своих публичных выступлений Вы цитировали знаменитые стихи своего любимого Николая Глазкова: «Я на мир взираю из-под столика. Век 20-й – век необычайный. Чем эпоха интереснее для историка, тем она для современника печальнее». Что для Вас сейчас наше настоящее?*

*Владимир Вишневский:*

*Как ни формулируй, как ни называй, любыми критериями руководствуясь, – от застоя до стабильности, от диктатуры до расцвета, настоящее не наше, а у каждого – свое, иссякающее время единственной жизни. Минувшего не поправить, будущее гадательно –и уж точно не светлое, как нам в детстве обещали, есть только зыбкое настоящее, которого не лишили... И для меня это Шанс достойно жить в оставшихся обстоятельствах. Я оптимист, как ни странно, и пусть это не от большого ума, но пессимистом мне быть поздно. Так что - «Дыши, а то и этого лишат!..»*

*Клаузура:*

*В прошлом году исполнилось 35 лет Вашей работы «на вольных хлебах». Не тяжело без персонального служебного рабочего стола и стула, корпоративных бонусов и визитки с адресом фирмы?*

*Владимир Вишневский:*

*О, эти визитки, которые в изобилии нам вручались «среди шумного бала» в начале 90-х!..Помните?.. «И чем сомнительней контора, тем генеральнее директор...» Когда в оголтело советское время, с его призраком обвинения в туеядстве над всеми желающими писать и этим жить, – я собрал гонорарные справки и с рекомендацией Дидурова вступил в Профкомитет литераторов, то это дало мне с т а т ус. И я зажил замечательной жизнью - «без выходных, но главное – без понедельников». Место работы для поэта – Вселенная, но мои перс. Стол и Стул – мой кабинет – я обожаю, что правда, не избавляет его от творч. беспорядка, с которым я уже вряд ли справлюсь при жизни. Кстати!.. Оставаясь, по определению, поэтом-одиночкой, в последние два года я зажил и параллельной, командной, став президентом российской развлекательной компании «Шоу Вишневского Сада». Мы занимаемся многим – от создания стильных событий и праздников до уникального – как нам сказали – креатива... Готов умолкнуть, но трудно удержаться от того, чтобы отправить вас не куда подальше, а – как это принято, на личный сайт, на тот, что на визитке:*

*Клаузура:*

*Ваша крылатая фраза: «Ничто так не скрашивает жизнь, как читатели». Какими Вы их себе представляете?*

*поэт Владимир ВИШНЕВСКИЙ*

*и продюсер Проекта “КЛАУЗАРА”, учредитель журнала Дмитрий ПЛЫНОВ*

*Владимир Вишневский:*

*Это так. Скрашивает каждый день, так что отовсюду через три-четыре дня тянет на Родину и «В Москву, в Москву!»*

*Лестно и слегка идеалистично представлять своего сегодняшнего читателя как современного, не лишённого продвинутого человека с чувством юмора и способностью оценить поэтический изыск... И я рад, что рейтинг цитации по-прежнему высок.*

*Причем, что характерно, в деловом повседневном общении.*

*Не так давно один из них подсказал мне с места мое же – как Шекспир спародировал бы Вишневского в XXI веке: «Говно-вопрос! – был Гамлету ответ...» Ну, это так, примерчик.*

*Пользуясь вашей журнальной трибуной, хочу заверить читателей:*

*«Большая честь – создать продукт,*

*Достойный вашего вниманья...»*

*Клаузура:*

*Вы наверняка помните шуточку-загадку советских времен: «Какое шестое чувство у советских людей? Чувство глубокого удовлетворения». А как сейчас, по-вашему?*

*Владимир Вишневский:*

*Возможны ответы разной степени стебности. Возможно, это неуверенность в сегодняшнем дне... А я когда-то по молодости лет высказал желание, разумеется, нескромное:*

*Хочу, чтоб настала в стране*

*Уверенность в завтрашнем*

*Мне.*

*Клаузура:*

*Не так широко известны, смешны и шумны Ваши канонические стихи. Однако ж Евгений Евтушенко включил их в антологию “Строфы века”. Продолжаете писать «по-серьезному»?*

*Владимир Вишневский:*

Уже упомянутая новая книга «Вишневский Сад» содержит как раз лирику нового витка... Это «другой», малоизвестный Вишневский...

Вообще, способность создать качественное лирическое стихотворение – органично, по высшей необходимости, а не прикинуться «версификационно» - для поэта некий важный показатель...

Клаузура:

Опишем Вас кратко: два десятка книг издано, снялся в восемнадцати кинофильмах. Выступления на публике, по радио, интервью в газетах и Интернете, телепередачам – несть числа. Есть порох в пороховницах? Или переходите на пневматическое оружие?

Владимир Вишневский:

Так и передайте им: «Не дождетесь». Сознаю все опасности Потери и куража, и товарного вида, и скромного дара, наконец... И все же надеюсь и создать, и допереть-осениться-прозреть, и сняться в 19-ом..и 21-ом фильмах, где будет самая моя роль, и новый телеформат для себя(а значит, людей) выдумать, и книги задуманные выпустить... Главное – «не надоест бы ни себе, ни миру!». Впрочем, не буду – в качестве служения – жанру смешить Господа своим перспективным планированием...

Клаузура:

В заключение, наш традиционный вопрос: «Что бы вы могли пожелать нашему журналу, его авторам и читателям?»

Владимир Вишневский:

Журнал Клаузура уже создал вокруг себя живое творческое поле, и оно задышало и даже заколосилось... Авторам журнала я желаю ярко предстать, открыться “и городу, и миру”, а читателям – новых открытий и откровений, ну и чисто читательских радостей...

## Владимир Вишневский Стихи<sup>115</sup>

Вождём бы стал -  
Харизмы не хватает...

Мне кажется с годами я меняюсь.  
Меняюсь я с годами, а не с чем-то.  
(А я всё думал - с чем же я меняюсь?..  
И выяснилось, это я с годами.)

На исходе двадцатого века,  
Когда жизнь непосильна уму,  
Как же нужно любить человека,  
Что бы взять и приехать к нему!..

Снег пошёл, но в процессе - иссяк.  
Потому что вот всё у нас так!..

Закон д'Ома

Чем меньше включено приборов в сеть,  
Тем меньше можно их ввиду иметь.

Когда-нибудь и нам нальют в бассейн...

Куда пропал?.. Да не было в живых...

Любви моей не опошляй согласьем...  
Желанная моя, скорей бы утро!..

О, как внезапно кончился диван!..  
Так изменял, но в мыслях - никогда!..  
Спасибо мне, что есть я у тебя!  
Какой-то вы маньяк не сексуальный...  
Ну да, всего лишь всё, чего хотел...  
В противном случае я стану с Вами жить...  
Не так я Вас любил, как Вы стонали...  
Анализы он сдал. Но их вернули.  
Здесь нестабильно даже ухудшеньё...  
Эрекция - такая вещь,  
Чей внешний вид уже зловец.  
..А что любовь - условия не те,  
что воспевались лирой вдохновенной...  
(Как трудно всё же - лёжа.. в темноте!..  
Не зная Вашей схемы эрогенной...)  
Поэт так не умеет сочинять,  
Как женщина умеет дать понять.  
Я ухожу, Алёнушка, к хасидам...  
...О, только б не обиделись евреи...  
Давай с тобой продлим ещё на год  
Вот э т о вот  
И с гордо поднятой идти на компромисы...  
Высокая мода  
Я одеваюсь там, где встал с кровати.  
Красиво  
Уйти - и не остаться на фуршет...  
Италия  
Ещё одна страна, где я не нужен...  
И напоследок: Как с помощью одностийшия получить две оплеухи-  
Такой бы и от Вас не отказался...

## **Стада уж боле не пасутся мирно**

*...Классик наш не самый скучный,-  
Мог сказать бы "Ай да Кушнер!":  
"Разве этот день осенний  
Не внушает опасений?.."*

Чем дальше в век, тем меньше и тем больше,  
чем дальше в XXI-ый, тем - о боже!..  
Уже любая точка - н е в о з в р а т а.  
(Как жили, нам не жить уже, ребята!)  
Да, в двадцать-нервном - по неу-молчанью -  
тотальна, экстремальна и глобальна,  
Жизнь поголовна и процессуальна,  
глобальна, техногенна и онлайнна.

И - ничего, что не было б чревато-  
царит Его Чреватость Техноген.  
И это означает например:  
пора отправить безвозвратно в ретро -  
оно наивно как фигура речи:  
"Казалось бы, ничто не предвещало..."  
позавчерашне, как литературно!-  
"Казалось бы, ничто не предвещает"!..  
Казалось - не покажется уже.  
Все предвещает в с е. И даже больше.  
Все что угодно предвещает в с е.

...Казалось бы, все было хорошо...  
Но тут вошел коммерческий директор.  
Ну а за ним - налоговый инспектор.  
Казалось бы - ну вот уже ... так нет...  
Тут подскочили любящие люди.  
Пожарные, экологи, УБЭП...  
Казалось, штиль и гладь, буйки на месте...  
Но тут некстати всплыли синхронистки.  
...Осталось лишь цитировать свое:  
"Тут я заснул, но было уже поздно..."

### **СТИХИ (не)СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ, с P.S. на вырост...**

...Вот вы искали благодать,  
а я вот был в Лесу!  
Вот и.о счастья- там гулять  
как частному лицу.  
Где сам себе ты астроном,  
где все -и пень, и ствол...  
И так нормально- видеть в Нем  
живое существо.

P.S.-2013

...И по пятам, и по кустам...  
Забыв, живя с листа,  
что пребыванье твое там  
запи-сывает-ся...

### **МЕГАПОЛИС-ФЕНТЕЗИ**

Она была с Ним больше полугода.  
Держа себя -как руль - в Его руках.  
Он властно вел себя и путеводно.  
Указывая ей - куда и к а к.  
Однако же не раз ее подставил, -  
Как подставляют любящих, с в о и х.  
Как подставляют женщин молодых...  
Склонял и поступать противу правил -

чуть через две сплошные не направил...  
На улицу, которой нет в живых.  
Она по-женски все прощала гаду...  
Но все безбожной врал ей НАВИГАТОР.  
Да, быть ГИБДД... Москва, Москва!..  
Но как-то раз, проехав мимо сада  
и огорода - куда было надо -  
в тупик промзоны - вот куда не надо!..-  
Она в сердцах себе сказала: "ХВА!".  
Как правильно - одним прекрасным утром  
Проснуться - как взойти - свободной ОТ,-  
Начав с руля - и разрулить все круто  
И...как там в песне - "новый поворот!.."   
...Был новый навигатор честный парень,  
поскольку куплен был, а не подарен  
тем, кто дарил корыстно - как себе...  
А что халява нам встает дороже  
и что дешевле заплатить чужим, -  
то это для другого протокола,  
уже совсем другое ДТП...

.....  
Любимая, прости, я литератор,  
что так - со стороны моей - не круто...  
Но знай, я твой не только Навигатор,  
но - цель любого твоего маршрута!..

\*\*\*

Дочь моя Влада,  
она мала,- о да, это правда,  
но уже прелестна  
и небезызвестна,  
и достоинств у нее бездна:  
и к маме она  
относится с пониманием,  
и сисю она сосет осмысленно,  
и взвешивать себя дает любезно,  
и плачет в ночи как-то деликатно,  
и на клизму реагирует предсказуемо-адекватно,  
и даже писается вполне уместно...  
Боже, как стало жить интересно!..

Из РОМАНСов ХХ1-го

Я ВСТРЕТИЛ ВАС...  
в ночи пройдя по ссылке...

\*\*\*

...И мне по скайпу показали внучку...

\*\*\*

Дебют в англоязычной поэзии  
--Oh, darling, love me tender!..  
--OK, press ENTER

\*\*\*

Утро Адмресурса

Есть пониманье, что пора в сортир.  
Есть ощущение, что еще не поздно.  
Подъем с постели - сильное решенье.  
И нет, нет аппаратной опасенья:  
Нас просто в регионах не поймут.

...Есть виденье, что травка зеленеет.

\*\*\*

...Бывало с каждым: сны как если б заминированы пробуждением.  
Вот так и с этим сновиденьем...  
А это что ... Ужель слеза?..  
Но что там было?!.. Был сюжет...  
возможно, высокобанальным,  
почти с букетом сериальным...  
Луна ли, сорри, ветер с моря...  
И(ль)- нет?..  
И та, Она, с кем здесь остались врозь,-  
там все сбылось, нам удалось!..  
Но - сорвалось.  
Как обнулило - взорвалось.  
Несбыточно... как сладко, как печально...  
И этот привкус, этот послевкус...  
И беспримерна грусть...  
И это все - о, не в сухом остатке.  
Я не хотел задействовать р е с у р с...  
Но в полдень мне положат распечатки  
всех за текущий месяц сновидений,  
включая этот ...  
о мой крайний сон!..  
С утра я дал согласие в о з г л а в и т ь...  
Но, как всегда, нет ясности по людям.  
Но все же дал согласие возглавить.  
Чтоб лично вертикали не ослабить  
Реально разрулить и отладить.  
(но, как всегда, нет ясности по людям)  
в системе сдержек и противовесов.  
И чтоб - не заторапливать процессов.  
Чтоб всем элитам удалось поладить.  
Но, как всегда, нет ясности по людям

Предметно порешаем и прокрутим...  
Конечно, есть подвижки с Правосудьем.  
Все неподкупней Генпрокуратура.  
Но все-таки нет ясности по людям.  
В кого ни ткни - ну не кандидатура!..  
Есть пониманье, что есть ощущение.

..Любимая, давай вдвоем побудем?..  
Но, как всегда, нет ясности по людям.

НаДОМ:

...И Я КУРС НАШ ЯСЕН: СОЧИ - ВСЕ ТАМ БУДЕМ.  
НО, КАК ВСЕГДА...

АВИА-WELCOME-2013

Спасибо, нам радостно,  
что ВЫ-брали наш ковер-самолет.  
Прослушайте информацию  
о том, что в полете вас ждет.  
Извещаем, что с этого года  
рейсы нашей компании  
объявлены свободными  
от сна и питания.  
Так что милостивые государыни и государи,  
просьба не жрать и не кемарить!..  
В целях улучшения обслуживания  
и в интересах всеобщей безопасности  
ваше пребывание в туалете записывается  
и при необходимости  
может быть транслировано  
на мониторы пассажирского салона.  
Во время взлета, снижения, приземления  
и, особенно, руления,  
Ваше воздержание -  
наш главный приоритет.  
(спасибо за понимание).  
Вознаграждение экипажу приветствуется  
и остается целиком на усмотрение пассажиров.  
...И лишь большое мастерство пилота  
спасет вас от дальнейшего полета.  
ГРАЖДАНЕ ПАССАЖИРЫ!..  
И в мирное время-  
БУДЬТЕ ВЗАИМНО ЖИВЫ.

**КЛАССИКА в ХХ1-ом**

*САЛЮТ АлексанСергеичу,  
кто все еще НАШЕВСЕ ...  
...Я к Вам пишу ...за спам уж не сочтите...  
... Я Вас любил, в ночи пройдя по ссылке...*

*...Единственную, лучшую, родную,-  
совсем забыл, что я тебя ревную!..*

А что, БратПушкин, не вопрос,-  
Он так сказал бы , дивно чуток:  
"О сколько нам открытий чудных  
готовит будущий склероз!.."

### **Некрасов-XXI**

Чу, чей стон раздается над Уимблдоном,  
Над "Ролланом Гаррос" -звук живой?..  
Высший теннис зовется у нас этим стоном-  
Это Маша Шарапова бьется за фонд призовой...

\*\*\*

...Вместе с той самой картиною Репина  
Басни Крылова живы - не вырубить:  
Ставит нас Жизнь перед скудным выбором  
В позе партнера Щуки и Лебедя...

\*\*\*

...Он ей обещал вернуться  
После короткой рекламы.  
Мол, только не переключай!..  
Она и не переключала,  
ждала, поезда встречала  
крестом у окна вышивала...  
(При этом еще напевала...)  
Но уже не вернулся.  
Будет реклама долгой,  
будет реклама скрытой,  
будет галимо джинсовой,  
а он уже не вернется  
(и после короткой рекламы)  
А ей обещал, мерзавец...  
Как я вам желаю счастья,  
Чистые девушки, дамы  
в особо хрупких размерах,-  
не верьте, когда обещают  
вернуться после рекламы!..  
О, сколько нам обещали  
Вернуться после рекламы!..  
А мы и не переключали...  
Пока не расстались с вещами...  
Пока что не обнищали...  
Зато мы остались с рекламой.  
Вооот с такую рекламой!..  
ЗВУЧИТ, обложив, обложив нас, -  
Советам ее - вся власть!

РЕКЛАМА: "НЕ РАДУЙТЕСЬ ЖИЗНИ -  
МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО ЗА ВАС!..."  
Доверьтесь профессионалам

\*\*\*

Себе не лгу я  
никогда.  
Что в переводе - просто (со)знаю,  
когда  
я лгу себе.  
(И - записываю  
иногда)

### **ГСВР, ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР...**

"...От лавоизверженья до икоты,  
от водоотключенья до погоды -  
не матери, явления Природы!.." -  
давно я так сказал. Промчались годы,  
и Главный Санитарный Врач России  
всем запретил обстебывать стихии  
(а лично мне - писать стихи плохие).  
А также поцелуй без Любви.  
...Нет, я не сразу начал жить красиво...  
О, как себя искал я, молодой!..  
Но Главный Санитарный Врач России  
Мне руки мыть велел перед едой.  
...Всем, кто подстраховал меня, - спасибо.  
Не зря ж, оберегая от статьи,  
Сам Главный Санитарный Врач России  
Твердил мне: "Не убий. Не укради!.."

#### **ИЗ ДНЕВНИКОВ ПАЦИЕНТОВ**

Нас лечит жизнь, но ничему не учит...  
Нас лечит жизнь, но ничему не учит...  
Уж не услышишь от врача: "Голубчик!.." -  
Да, уже не услышишь -а так охота! -  
"Спасибо, ну что вы, ведь это моя работа".

\*\*\*

...Не забуду я, как в т о т раз  
приобнял я тебя убедительно  
(я ж всегда обнимал предварительно), -  
вдруг с небес техногенный Глас:  
"Эта клавиша недействительна!"

### **Из СТИХИАТРИИ**

Сегодня нежным быть архиважно -  
Уж вы доверьтесь мне как врачу.  
(Я улыбаюсь, но не шучу.)

Я не был первым мужчиной Вашим,  
Но и последним быть не хочу!..

### **ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК и ЗАПИСНЫХ КРАСОТОК ПОЭТА ВИШНЕВСКОГО**

... Наверное, до эры ново яза и правильных понятий географическое словосочетание "Крайний Север" звучало как "Последний Север".

### **ИЗ ЛЕТА-2010, В ПРЕДДВЕРИИ...**

...Сквозь летний смог мой глас -  
и он услышан:  
СЕГОДНЯ В СЕКСЕ ГЛАВНОЕ - КОНДИШН...

*ЛЮБИМАЯ...*

...Нет, в следующий раз уже по скайпу...

### **...КУДА ТЫ ДЕЛА ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК?!**

Как стало н о в о,  
мутится разум...  
У Казановы  
подвисла база

### **МЕГАПОЛИС-ФЕНТЕЗИ**

Она была с Ним больше полугода.  
Держа себя -как руль - в Его руках.  
Он властно вел себя и путеводно.  
Указывая ей - куда и к а к.

## **Игорь Губерман**

### **Об авторе:**

***"Я не реабилитирован, так и остаюсь уголовником"*<sup>116</sup>**

*Для одних Игорь Губерман - явление массовой культуры в области стихосложения, для других - мера здравого смысла и чувства юмора, для третьих - неокарнавальная лирика, образец народного маньеризма и ненормативной дидактической миниатюры, для четвертых - память о веселом кухонном или горьком лагерном противостоянии опостылевшему и бесполому в своей душной дряхлости режиму, Саша Черный и Козьма Прутков застойных семидесятых. Политики цитируют Губермана, не зная, ни что такое Губерман, ни что такое гарики. Постмодернисты не верят в чистосердечие этого ненормативного поэта, причисляя его к подпольным концептуалистам «барачного» толка. А если верят, то называют его четверостишия не иначе как частушками. И лишь одного не отрицает никто. Книги Губермана не залеживаются на книжных полках. Его неподцензурными афоризмами пронизана речь среднестатистического россиянина. Он - явление, с каким знаком к нему ни приставай.*

---

116 Интервью с Игорем Губерманом. - Журнал PERFORMANCE 2002 Самара//  
[http://guberman.lib.ru/stat\\_3/ugolovnik.htm](http://guberman.lib.ru/stat_3/ugolovnik.htm)

*В декабре Игорь Губерман читал свои «гарики» в Самаре, в окружном Доме офицеров. Но сначала старый советский зэк и интеллигент, а ныне житель Иерусалима, успел побеседовать с поэтом совсем другой формации - Сергеем ЛЕЙБГРАДОМ на радио «Эхо Самары». Фрагменты этой любопытной беседы, как прозвучавшие в эфире дружественного и почти родного нам радио, так и вышедшие за его пределы, как нам кажется, будут небезынтересны постоянным читателям «PERFORMANCE».*

*- «Себя расточая стихами и век промотавши как день, я дерзко хватаю руками то эхо, то запах, то тень». Добрый день, Игорь Миронович, и согласитесь, что это не самые узнаваемые, чересчур лирические, «гарики» Игоря Губермана?*

*- Здравствуйте-пожалуйста. А соглашаться вы должны сами с собой, я тут ни при чём...*

*- Игорь Миронович, вы уже не первый раз в Самаре, что тянет вас сюда из дальних палестин? Особая атмосфера, близкие люди, гастрольная необходимость, дающая возможность заработать честным поэтическим трудом?*

*- Я в Самаре третий раз... Я вообще очень люблю ездить в Россию, которая так и осталась для меня Родиной, и у меня душа, не разрываясь, привязана к двум Родинам. Есть несколько городов в России, куда я очень люблю приезжать, потому что там, кроме замечательной аудитории, для которой мне приятно завывать стихи, есть еще и хорошие друзья-товарищи. Мне интересно с ними. В частности, в Самару я приезжаю с радостью от того, что помимо читателей повидаю здесь и своего издателя Михаила Бахраха.*

*- Ностальгия для вас не миф? Какова природа вашей тяги в страну, где понятия «родина» и «зона» были почти неразделимы? Здесь ваш основной читатель, язык, из которого рождаются ваши, как вы говорите, стихи? Или «преступника тянет на место преступления»?..*

*- Ну, смотрите - «преступника тянет на место преступления» - это очень многозначная фраза. Да, я, действительно, здесь сидел, а во-вторых, как известно, «евреи продали Россию», вот поэтому, может, меня так тянет в Россию. Но самое главное и нештучное: мне хочется сюда, потому что у меня здесь много приятелей. А вообще я и так много езжу, у меня нет недостатка в аудитории никакого. У меня более чем миллионная аудитория в Израиле, несчетная аудитория в Америке, и я за каждые гастроли по США объезжаю 25 - 26 городов. В Германии чудовищное количество россиян. Вот только что я из Австралии приехал. Сегодня русский язык слышен абсолютно по всему миру, поэтому в Россию меня тянет не ностальгия по языку.*

*- Игорь Миронович, возвратимся к началу, уж извините за такое пафосное словосочетание, вашего творческого пути. То, что вы стали писать - это что? Ваши «гарики» - это элемент бытовой культуры, современный рецидив традиционной карнавальной культуры, реакция здорового полноценного человека на параноидальный советский строй, определенного рода игра и мистификация? Вы до «гариков» писали просто так называемые лирические, «нормальные» стихи?*

*- Километрами, километрами. Во время первой, второй, третьей и т. д. любви я писал километры лирических стихов, но потом нашел в себе силы утопить их все в помойном ведре и никогда не печатать. Потом я писал пьесу, «такую же удачную», тоже утопил в ведре, а еще писал научно-популярные книжки. А стихи были как бы вот таким посторонним истечением желчи из печени. Вы только неправильно говорите, что это реакция на советскую власть, я писал и пишу стихи о любви, о смерти, о жизни...*

*- И всё-таки антивластный пафос очевиден. Может, вечный, как у Вийона, Гейне или персо-таджиков. Протест живого человека из плоти, крови и фекалий против бесполой идеологии и неестественных поз, в которые режим ставил этого человека...*

*- Вы знаете, нет. Я думаю, что я начинал писать стихи, как просто эхо на жизнь, что ли. Потому что я ведь никуда не ездил, я родился при советской власти, я при ней жил. Для меня это была окружающая природа, естественная, и поэтому, когда я писал*

стишки о режиме, скажем, конкретно, то я их писал точно так же, как я писал о природе, о дожде, о снеге, о человеческой злобе, о человеческой любви, я просто ведь больше ничего не видел, и поэтому, уехав, я стал писать гораздо меньше стихов, которые, как вы говорите, наполнены политическим пафосом.

- Не соблаговолите ли вы прочитать несколько последних «гариков»?

- Я как бы случайно взял с собой бумажки, только я в них путаюсь, а наизусть не помню, сейчас я что-нибудь почитаю:

Несчастливы чуть ли не с рожденья,  
Мы горько жалуемся звездам.  
А вся печаль от заблужденье,  
что человек для счастья создан.

И вот ещё:

Глянем, что направо, что налево:  
все на свете ясно всем вокруг.  
Так умудрена бывает дева,  
истину познав из первых брьюк.

Ну и так далее...

А вот ещё, простите, мне попались стихи, по-моему, воплощенная мечта генерала Макашова:

Сосновой елью пахнет липа  
в семи воскресных днях недели.  
Погиб от рака вирус гриппа,  
евреи в космос улетели...

- А всё равно, эта вот аберрация, то, что всякий, кто в России иронизировал, шутил, сразу становился политическим деятелем или диссидентом, вас не раздражало? Или вы воспринимаете и воспринимали это естественно...

- Я не был диссидентом ни в коем случае. И ни в коем случае не боролся с советской властью. Вы знаете, сейчас чудовищное количество объявилось великих борцов с советской властью, даже эстрадные какие-то певцы, оказывается, боролись с советской властью, песни им про любовь и про День Победы петь запрещали. Они, видимо, боролись. Я не боролся...

- Игорь Миронович, вот вы вспомнили Макашова, то есть вы знаете и самарскую, и российскую действительность. И одновременно смотрите на нас уже со стороны. Каково ваше отношение к нынешней российской власти? Четырнадцать лет, действительно, невероятно изменили Россию? Или это красивая фигура речи неспособных по-настоящему изменяться людей?

- Я бы даже сказал, уже шестнадцать. Потому что я все отсчитываю от весны восьмидесят пятого года, когда был поразительный доклад Горбачева. Но изменения настолько огромные, что как-то просто банально об этом говорить. А говорить вообще об изменениях, знаете, я боюсь, потому что у меня была бабушка Любовь Моисеевна, она говорила очень мудрую фразу, она говорила: «Не обобщай и обобщен не будешь». Поэтому за всю Россию я вам не скажу. И впечатления у меня всё-таки не постороннего человека. Я всё время, знаете ли, в русских делах нахожусь, я читаю толстые российские журналы периодически, газеты я не люблю, смотрю русское телевидение. Я вижу, что просто стала другая страна, и уже есть смысл обсуждать эту страну, а не изменения. Советская власть канула на дно, слава Богу, необратимо, как Атлантида.

- Как вы относитесь к тому, что те, кого по инерции называют интеллигентами, сегодня живут с некоторым чувством истеризма, с разрастающимся страхом перед новой квазимперской пропагандой, авторитаризмом, каким-то бездарным давлением на СМИ. А с другой стороны, перед вполне комфортным самочувствием национал-коммунистов и появлением всё новых и новых «красных поясов»...

- То, что они себя плохо чувствуют - это ведь совершенно естественно. Смотрите, распался огромный лагерь. В исправительно-трудовом лагере вдруг объявили свободу, вдруг часовые слезли с вышек, вдруг исчезли собаки и колючая проволока. Кто в такой ситуации прежде всех опомнится? Опомнились прежде всех надзиратели, опомнилась вохра, опомнилась прежде всего советская власть, комсомольская, партийная. Естественно, что они все расхватали и разворовали и продолжают этим заниматься. К ним примкнула уголовная шобла, вся блатота, потому что они самые находчивые и способные, к ним примкнули шерсти их и подшерстки. И вчерашний, скажем, содержатель карцера, главный в карцере, сегодня там выпускает уже газету «На свободе с чистой совестью», он уже эссеист, демократ и уже выпустил две книжки, как он боролся, оказывается, с советской властью и ее тайно подрывал, а растерянными оказались, говоря по-лагерному, мужики, то есть работяги, интеллигенция, фраера, Укроп Укропычи, которые не привыкли жить самостоятельно, красть, хватать, они привыкли работать и получать свою пайку - премию, льготы, путевку, бесплатную медицину, квазимедицину, правда. И вот они, конечно, в растерянности. Пайку стало труднее добывать, и совершенно иные стали условия существования. И вообще, вот это иждивенчество, иждивенчество раба, в котором мы жили в этом лагере, он ведь так и назывался лагерем, мы ведь не обращали внимания, говоря «лагерь мира, социализма и труда». Цену этому миру, социализму и труду мы уже тогда знали. И вот лагерь распался, и на его развалинах мужикам, по-лагерному говоря, труднее всего. Я думаю, что отсюда происходят и печаль, и стенания...

Но благодаря тому, что партийные вертухаи, комсомольцы и блатные всё, так сказать, мгновенно разворовали, распределили, разделили, их дети уже будут кончать Оксфорды и Кембриджи. Не знаю, будут ли сюда возвращаться, думаю, что будут. Но я знаю новых русских в разных городах, которые уже проявляют себя как Щукины и Третьяковы. У меня есть один приятель, рэкетир бывший, сейчас благополучный новый русский, добропорядочный господин, он недавно, представьте себе, финансировал всероссийский конкурс фортепьянных дуэтов. Так что, я думаю, все нормализуется и очеловечится, потому что, скажем, в Америке конца девятнадцатого и начала двадцатого столетий существовал почти такой же беспредел, правда, в условиях нераспущенного лагеря. Беспредел просто активных энергичных натур со всяким, так сказать, бандитизмом. И еще, простите мне стариковское многословие, даже лучше не Америку вспомнить, а Австралию, которая вся была сделана из, по-моему, тысячи восьмисот уголовников, привезенных туда на пароходе в конце восемнадцатого века. Сейчас Австралия - цветущая и самая безопасная, самая культурная, в смысле отношений между людьми, страна в мире.

- Когда вы начинали писать, когда стали распространяться ваши «гарики», стали распространяться и тексты авторов эстетического андеграунда: Бродского, вас даже называют одним из его первооткрывателей, и поэтов-лианозовцев. Это было время «барачного реализма», русского конкретизма, переросшего позже в концептуализм. Насколько ваша стилистика, если можно так сказать, наивна, а насколько концептуальна, «масочна» и деконструктивна? Низовая, ненормативная и, одновременно, пафосно-философическая природа вашей поэзии - это ваша природа или позиция персонифицированного автора?

- Вы знаете, я настолько не имею никакого отношения к концептуализму, что просто не знаю толком этого слова, и думаю, что, если самих концептуалистов об этом спросить, они тоже запутаются и будут бормотать...

- Не запутаются и бормотать не будут, я их спрашивал...

- А что касается лианозовской школы, то и Игорь Холин, и Генрих Сапгир, с которыми я очень дружил, царство им небесное обоим, они писали естественные и органичные стихи, органичные для поэтов, которые были погружены в такую же стихию, как и я.

Моё творчество и в последние шестнадцать лет не поменялось. Россия стала другой страной, а я остался тем же человеком, вот стал лишь больше писать о Боге, скажем, хотя по-прежнему в издевательском ключе, потому что в Израиле присутствие Бога ощутимо в значительно большей степени. Знаете, там просто вот камни дышат, особенно рядом с собеседником, который тебе может об этих камнях рассказать. Ну и потом я стал писать более грустные стихи, я стал писать больше о старости и т. д., а так в общем ничего не изменилось...

- Вы сейчас продолжаете писать прозу?

- Я продолжаю писать прозу, я только что написал толстую книжку воспоминаний, которая называется «Книга странствий», такие несерьезные всякие мемуары о всяком смешном, что происходило...

- Игорь Миронович, ненормативная лексика сегодня - удел не столько вчерашних уголовников, сколько интеллектуалов и даже элитарных литераторов. Параллельно наши полуграмотные политики, с большим трудом обходящиеся без нецензурных слов на думской трибуне, возмущены матом в искусстве. Как вы полагаете, будет ли когда-нибудь пресловутая ненормативная лексика легитимизирована?

- Она уже легитимизирована давным-давно. Вы знаете, вот я вам повторяю, я читаю пять или шесть толстых лучших российских журналов - и там неформальная лексика, а уж о книжках я просто не говорю. Живая неформальная речь вернулась в русский литературный текст, и это огромное счастье. Другое дело, что появилось довольно большое количество литераторов, которые употребляют неформальную лексику так же, как ее употребляет тринадцатилетний прыщавый подросток в подъезде, чтобы показать свою, так сказать, недозревшую самость. Вот это почему-то всех ужасно пугает...

- Давайте еще раз вернемся в прошлое. Я читал, что, когда вас арестовывали и судили, добросовестная советская девушка, не помню, следователь или помощник следователя, говорила вам: «Игорь Миронович, мы дадим вам пять лет, чтобы конфисковать вашу коллекцию, у вас такая замечательная коллекция картин»...

- Девушке было под шестьдесят...

- Вы никогда потом не пытались вернуть коллекцию, которой гордились и которую очень любили?

- Вы знаете, нет. Я брезгливый очень человек, и это во мне преобладает над всякими, так сказать, побуждениями коллекционера, что ли, я уже не говорю о материальных побуждениях. У меня была очень хорошая коллекция, мне ее жалко, но ввязываться с этими людьми в какие-то отношения мне просто омерзительно, поэтому я никогда никого ни о чем не просил, и по этой же причине я не реабилитирован, я так и остаюсь уголовником...

- Когда-то вы работали инженером на железной дороге и там дружили с зэками. Вы пишете о них, как мне показалось, с симпатией. Мне вспоминается Варлам Шаламов, беспощадно ненавидевший блатных и блатную культуру...

- Варлам Шаламов, царство ему небесное, сидел в лагерях чудовищного времени, это были, действительно, истребительно-трудовые лагеря. Это были другие лагеря и по-другому себя вели уголовники. Я сидел в лагере с очень симпатичными уголовниками, которые сейчас, наверное, богатые люди или стали бандитами, я уж не знаю, разница небольшая. Я к блатным эпохи застоя, когда в лагерь мог попасть любой, отношусь совершенно спокойно...

- А как вы относитесь к современным русским прозаикам и поэтам, очевидно, концептуальной, иронической и трагифарсовой направленности? К Владимиру Сорокину,

Льву Рубинштейну, Дмитрию Александровичу Пригову? Или вам ближе несколько опрошенные Вишневецкий и Игорь Иртеньев?

- Иртеньева обожаю... Вы знаете, вы вынуждаете меня на некие, так сказать, неприятные формулировки, а в иудаизме есть такой замечательный запрет - запрет на дурной язык, ни о ком нельзя говорить плохо, поэтому я вам скажу так - Иртеньева я очень люблю, ко всем остальным я отношусь с уважением. Но тех, кого я не люблю, я просто не читаю...

- Одна из первых ваших книжек называлась «Еврейские дацзыбао», то есть определение «гарики» появилось позже?

- Первая моя книжка стихов называлась так, да... Это было не мое название, и после этого я стал называть свои стихи «гариками». Сначала я свои четверостишия называл «дацзыбао», пародируя лозунги больших букв, которые были в Китае, как известно, во время культурной революции. На стены вешали короткие изречения, они и назывались «дацзыбао». А когда в семьдесят восьмом году в Израиле вышла моя первая книжка и чуть позже попала в СССР и оказалась у меня, то я ужаснулся. «Еврейские дацзыбао» - ну, полная чушь! Я стал искать новое слово, вспомнил, что меня дома много лет называли Гариком. И, вы знаете, это оказалось очень продуктивным названием, к моему несчастью, потому что впоследствии появились «юрики», «леники», «петики», «марики», «толики», а одна графоманка издала толстенный том «ириков»...

- Сейчас вы живете в Иерусалиме, в Израиле. Что там происходит на самом деле? Как в этом и с этим можно жить?..

- Мне кажется, вы не знаете о том, что там происходит, как и абсолютное большинство мира. Мы уже десять лет об это кричим, нас только-только начали слышать. Вы знаете, то, с чем мы в Израиле столкнулись - это не локальный конфликт типа басков с испанцами, ирландцев с англичанами, появилось то, что называют «исламским экстремизмом», на самом деле этому явлению еще нет адекватного названия, это гигантская раковая опухоль на теле всего человечества. Это жуткая совершенно смесь религиозного фанатизма, бизнеса, политики, идеологии, такое ощущение, что Господь Бог в нашем веке выдумал новый кошмар, как в двадцатом веке этот великий режиссер выдумал фашизм и социализм. Бен Ладен и его явные или скрытые поклонники - не менее опасны, это не религиозная штука. Фанатизм смертников чудовищен, это какой-то квазиматериальный идеализм. Смертник знает, что его семья будет всем обеспечена, как семья героя, а самое главное, он абсолютно уверен, что через три минуты после смерти, после взрыва, убийства, он попадает в рай, где его ждут зелень, водоемы и семьдесят девственниц. Поэтому у смертников взрывается всё, кроме полового члена, который специально перевязывается и защищается от взрыва. Человек взрывается весь, но его член обязан пластиковым пакетом, проволокой и веревкой, настолько он верит чисто материалистически, что это ему сейчас вот, через несколько минут, понадобится в раю. А те, кто стоят над фанатиками, всё гуце и гуце заваривают чудовищную смесь бизнеса и идеологии, огромных денег и огромных жертв. Это идеологическое, чудовищное совершенно движение, и уже десять лет Израиль об этом кричит, и его никто не слышал до одиннадцатого сентября. Одиннадцатого сентября услышали наконец, когда произошла эта американская трагедия. Метастаза этой опухоли может проявиться в любой момент. Её очень боятся во Франции, где пять или шесть миллионов арабов. Французов, в том числе и арабского происхождения, пугает, что среди них могут оказаться провокаторы, экстремисты-фанатики, такие же смертники... Эта страшная штука имеет чуть касательство и к Чечне, хотя там, по-моему, происходят и несколько другие процессы.

- Есть ли какое-то лекарство от этой цивилизационной опухоли?

- Вообще-то я - чудовищный оптимист, просто физиологический, но мне кажется, что весь 21 век пройдет вот в такого рода войнах и кошмарных, изоциренных террористических актах...

- Печально, что в значительной степени террористы добились того, чего хотели. Западный мир рассекают бюрократические процедуры и режимы, границы, таможи, допросы, опросы, прослушивания и перлюстрации, главными действующими лицами становятся полицейские, разведчики, чекисты и гэбэшники...

- Вы знаете, ну это издержки, это кошмарные неизбежные издержки этого процесса. Вы знаете, вот после того погрома, который был в Москве, когда били граждан, напоминающих людей кавказской национальности, я сразу почему-то вспомнил, простите за эту ассоциацию, что в семидесятые годы ведь было такое стыдливое лицо еврейской национальности. В России это нечто другое, с одной стороны, повышение бдительности, а с другой - вечные внутренние российские разборки...

- Игорь Миронович, с «гариков», как с самого интересного в вас для прочего человечества, мы начали, давайте «гариками» и закончим. Как сказал Владимир Соколов, «только стих, доказательств больше нет никаких».

- Пожалуй, для литератора так оно и есть.

*Исполнена свободой жизнь моя,  
Как пение русалочье во мраке,  
Как утренняя первая струя  
У вышедшей на улицу собаки.*

*Во флирте мы весьма поднаторели,  
И с дамой заведя пустую речь,  
Выводим удивительные трели,  
Покуда размышляем, где прилечь.*

## **Игорь Губерман Камерные гарики. Тюремный дневник**

Я взял табак, сложил белье —  
к чему ненужные печали?  
Сбылось пророчество мое,  
и в дверь однажды постучали.

Друзьями и покоем дорожи,  
люби, покуда любится, и пей,  
живущие над пропастью во лжи  
не знают хода участи своей.

И я сказал себе: держись,  
Господь суров, но прав,  
нельзя прожить в России жизнь,  
тюрьмы не повидав.

Попавшись в подлую ловушку,  
сменив невольно место жительства,

кормлюсь, как волк, через кормушку  
и охраняюсь, как правительство.

Серебра сигаретного пепла  
накопился бы холм небольшой  
за года, пока зрело и крепло  
все, что есть у меня за душой.

Среди воров и алкоголиков  
сiju я в каменном стакане,  
и незнакомка между столиков  
напрасно ходит в ресторане.  
Дыша духами и туманами,  
из кабака идет в кабак  
и тихо плачет рядом с пьяными,  
что не найдет меня никак.

В неволе зависть круче тлеет  
и злее травит бытие;  
в соседней камере светлее  
и воля ближе из нее.

Думаю я, глядя на собрата —  
пьяницу, подонка, неудачника, —  
как его отец кричал когда-то:  
«Мальчика! Жена родила мальчика!»

Страны моей главнейшая опора —  
не стройки сумасшедшего размаха,  
а серая стандартная контора,  
владеющая ниточками страха.

Как же преуспели эти суки,  
здесь меня гоняя, как скотину,  
я теперь до смерти буду руки  
при ходьбе закладывать за спину.

Повсюду, где забава и забота,  
на свете нет страшнее ничего,  
чем цепкая серьезность идиота  
и хмурая старательность его.

Томясь тоской и самомнением,  
не сетуй всеу, милый мой,  
жизнь постижима лишь в сравнении  
с болезнью, смертью и тюрьмой.

В объятьях водки и режима  
лежит Россия недвижимо,  
и только жид, хотя дрожит,  
но по веревочке бежит.

Еда, товарищи, табак,  
потом вернусь в семью;  
я был бы сволочь и дурак,  
ругая жизнь мою.

Из тюрьмы ощутил я страну —  
даже сердце на миг во мне замерло —  
всю подряд в ширину и длину  
как одну необъятную камеру.

Прихвачен, как засосанный в трубу,  
я двигаюсь без жалобы и стога,  
теперь мою дальнейшую судьбу  
решит пищеварение закона.

Там, на утраченной свободе,  
в закатных судорогах дня  
ко мне уныние приходит,  
а я в тюрьме, и нет меня.

Империи летят, хрустят короны,  
история вершит свой самосуд,  
а нам сегодня дали макароны,  
а завтра — передачу принесут.

Мой ум имеет крайне скромный нрав,  
и наглость мне совсем не по карману,  
но если положить, что Дарвин прав,  
то Бог создал всего лишь обезьяну.

Я теперь вкушаю винегрет  
сетований, ругани и стонов,  
принят я на главный факультет  
университета миллионов.

С годами жизнь пойдет налаженной  
и все забудется, конечно,  
но хрип ключа в замочной скважине  
во мне останется навечно.

Не знаю вида я красивей,  
чем в час, когда взошла луна,  
в тюремной камере в России  
зимой на волю из окна.

Для райского климата райского сада,  
где все зеленеет от края до края,  
тепло поступает по трубам из ада,  
а топливо ада — растительность рая.

Россия безнадежно и отчаянно  
сложилась в откровенную тюрьму,  
где бродят тени Авеля и Каина  
и каждый сторож брату своему.

Устал, я жить как дилетант,  
я гласу Божескому внемлю  
и собираюсь свой талант  
навек зарыть в Святую землю.

Судьба мне явно что-то роет,  
сичу на греющемся кратере,  
мне так не хочется в герои,  
мне так охота в обыватели!

Когда судьба, дойдя до перекрестка,  
колеблется, куда ей повернуть,  
не бойся неназойливо, но жестко  
слегка ее коленом подтолкнуть.

В России слезы светятся сквозь смех,  
Россию Бог безумием карал.  
России послужили больше всех  
те, кто ее сильнее презирал.

Я стараюсь вставать очень рано  
и с утра для душевной разминки  
сыплю соль на душевные раны  
и творю по надежде поминки.

С утра на прогулочном дворике  
лежит свежавыпавший снег  
и выглядит странно и горько,  
как новый в тюрьме человек.

Грабительство, пьяная драка,

раскража казенного груза...  
Как ты незатейна, однако,  
русской преступности Муза!

Сижу пока под следственным давлением  
в одном из многих тысяч отделений;  
вдыхают прокуроры с вождением  
букет моих кошмарных преступлений.

Вокруг себя едва взгляну,  
с тоскою думаю холодной:  
какой кошмар бы ждал страну,  
где власть и впрямь была народной.

Когда уход из жизни близок,  
хотя не тотчас, не сейчас,  
душа, предощущая вызов,  
духовней делается в нас.

Не лезь, мой друг, за декорации,  
зачем ходить потом в обиде,  
что благороднейшие грации  
так безобразны в истом виде.

Я скепсисом съеден и дымом пропитан,  
забыта весна и растрчено лето,  
и бочка иллюзий пуста и разбита,  
а жизнь — наслаждение, полное света.

Блажен, кто хлопотлив и озабочен,  
и ночью видит сны, что снова день,  
и крутится с утра до поздней ночи,  
ловя свою вертящуюся тень.

Мое безделье будет долгим,  
еще до края я не дожил,  
а те, кто жизнь считает долгом,  
пусть объяснят, кому я должен.

Наклонись, философ, ниже,  
не дрожи, здесь нету бесов,  
трюмы жизни пахнут жижей  
от общественных процессов.

Весной я думаю о смерти.  
Уже нигде. Уже никто.

Как будто был в большом концерте  
и время брать внизу пальто.

По камере то вдоль, то поперек,  
обдумывая жизнь свою, шагаю,  
и каждый возникающий упрек  
восторженно и жарко отвергаю.

Ветреник, бродяга, вертопрах,  
слушавшийся всех и никого,  
лишь перед неволей знал я страх,  
а теперь лишился и его.

В тюрьме, где ощутил свою ничтожность,  
вдруг чувствуешь, смятение тая,  
бессмысленность, бесцельность, безнадежность  
и дикое блаженство бытия.

Тюрьмою наградила напоследок  
меня отчизна-мать, спасибо ей,  
я с радостью и гордостью изведал  
судьбу ее не худших сыновей.

Года промчатся быстрой ланью,  
укроет плоть суглинка пласт,  
и Бог-отец могучей дланью  
моей душе по жопе даст.

В тюрьму я брошен так давно,  
что сжился с ней, признаться честно;  
в подвалах жизни есть вино,  
какое воле неизвестно.

Какое это счастье: на свободе  
со злобой и обидой через грязь  
брести домой по мерзкой непогоде  
и чувствовать, что жизнь не удалась.

Стихов довольно толстый томик,  
отмычку к райским воротам,  
а также свой могильный холмик  
меняю здесь на бабу там!

В тюрьме вечерами сидишь молчаливо  
и очень на нары не хочется лезть,  
а хочется мяса, свободы и пива,

а изредка — славы, но чаще — поесть.

В наш век искусственного меха  
и нефтью пахнувшей икры  
нет ничего дороже смеха,  
любви, печали и игры.

В тюрьму посажен за грехи  
и, сторожимый мразью разной,  
я душу вкладывал в стихи,  
а их носил под пяткой грязной.

И по сущности равные шельмы,  
и по глупости полностью схожи  
те, кто хочет купить подешевле,  
те, кто хочет продать подороже.

Все дороги России — беспутные,  
все команды в России — пожарные,  
все эпохи российские — смутные,  
все надежды ее — лучезарные.

Божий мир так бестрепетно ясен  
и, однако, так сложен притом,  
что никак и ничуть не напрасен  
страх и труд не остаться скотом.

Нет, не судьба творит поэта,  
он сам судьбу свою творит,  
судьба — платежная монета  
за все, что вслух он говорит.

Живущий — улыбайся в полный рот  
и чаще пей взбодряющий напиток;  
в ком нет веселья — в рай не попадет,  
поскольку там зануд уже избыток.

Последнюю в себе сломив твердыню  
и смыв с лица души последний грим,  
я, Господи, смирил свою гордыню,  
смири теперь свою — поговорим.

Нет, не бездельник я, покуда голова  
работает над пряжею певучей;  
я в реки воду лью, я в лес ношу дрова,  
я ветру дую вслед, гоняя тучи.

Не спорю, что разум, добро и любовь  
        движение мира ускорили,  
но сами чернила истории — кровь  
людей, непричастных к истории.

По давней наблюдательности личной  
забавная печальность мне видна:  
гавно глядит на мир оптимистичней,  
чем те, кого воротит от гавна.

Жаждающих уверовать так много,  
что во храмах тесно стало вновь,  
там через обряды ищут Бога,  
как через соитие — любовь.

Мне наплевать на тьму лишений  
и что меня пасет свинья,  
мне жаль той сотни искушений,  
которым сдаться мог бы я.

Волшебен, мир, где ты с подругой;  
женой становится невеста;  
жена становится супругой,  
и мир становится на место.

Фортуна — это женщина, уступка  
ей легче, чем решительный отказ,  
а пластика просящего поступка  
зависит исключительно от нас.

Не наблюдал я никогда  
такой же честности во взорах  
ни в ком за все мои года,  
как в нераскаявшихся ворах.

Лежу на нарах без движения,  
на стены сумрачно гляжу;  
жизнь — это самовыражение,  
за это здесь я и сижу.

Здравствуй, друг, я живу хорошо,  
здесь дают и обед и десерт;  
извини, написал бы еще,  
но уже я заклеил конверт.

За то, что я сидел в тюрьме,  
потомком буду я замечен,  
и сладкой чушью обо мне  
мой образ будет изувечен.

Не сваливай вину свою, старик,  
о предках и эпохе спор излишен;  
наследственность и век — лишь черновик,  
а начисто себя мы сами пишем.

Поскольку предан я мечтам,  
то я сижу в тюрьме не весь,  
а часть витает где-то там,  
и только часть ютится здесь.

Любовь, ударившись о быт,  
скудеет плотью, как старуха,  
а быт безжизнен и разбит,  
как плоть, лишившаяся духа.

Есть безделья, которые выше трудов,  
как монеты различной валюты,  
есть минуты, которые стоят годов,  
и года, что не стоят минуты.

По счастью, я не муж наук,  
а сын того блажного племени,  
что слышит цвет, и видит звук,  
и осязает запах времени.

Вчера я так вошел в экстаз,  
ища для брани выражения,  
что только старый унитаз  
такие знает извержения.

Как сушат нас число и мера!  
Наседка века их снесла.  
И только жизнь души и хера  
не терпит меры и числа.

Счастливый сон: среди вин сухих,  
с друзьями в прениях бесплодных  
за неимением дел своих  
толкую о международных.

Чтоб хоть на миг унять свое

любви желание шальное,  
мужик посмеет сделать все,  
а баба — только остальное.

Как безумец, я прожил свой день,  
я хрипел, мельтешил, заикался;  
я спешил обогнать свою тень  
и не раз об нее спотыкался.

Забавно слушать спор интеллигентов  
в прокуренной застольной духоте,  
всегда у них идей и аргументов  
чуть больше, чем потребно правоте.

Как жаль, что из-за гонора и лени  
и холода, гордыней подогретого,  
мы часто не вставали на колени  
и женщину теряли из-за этого.

В тюрьме я понял: Божий глас  
во мне звучал зимой и летом:  
налей и выпей, много раз  
ты вспомнишь с радостью об этом.

Чума, холера, оспа, тиф,  
повальный голод, мор детей...  
Какой невинный был мотив  
у прежних массовых смертей.

А жизнь продолжает вершить поединок  
со смертью во всех ее видах,  
и мавры по-прежнему душат блондинок,  
свихнувшись на ложных обидах.

Едва в искусстве спесь и чванство  
мелькнут, как в супе тонкий волос,  
над ним и время и пространство  
сменяются тотчас в полный голос.

Суд земной и суд небесный —  
вдруг окажется похожи?  
Как боюсь, когда воскресну,  
я увидеть те же рожи!

Клянусь едой, ни в малом слове  
обиды я не пророню,

давным-давно я сам готовил  
себе тюремное меню.

Лишен я любимых и дел, и игрушек,  
и сведены чувства почти что к нулю,  
и мысли — единственный вид потаскушек,  
с которыми я свое ложе делю.

Когда лысые станут седыми,  
выйдут мыши на кошачью травлю,  
в застоявшемся камерном дыме  
я мораль и здоровье поправлю.

Весной вырастают в почву палки,  
шалеют кошки и коты,  
весной быки жуют фиалки,  
а пары ищут темноты.  
Весной тупеют лбы ученые,  
и запах в городе лесной,  
и только в тюрьмах заключенные  
слабеют нервами весной.

Читая позабытого поэта  
и думая, что в жизни было с ним,  
я вижу иногда слова приветя,  
мне лично адресованные им.

В туманной тьме горят созвездия,  
мерцая зыбко и недружно;  
приятно знать, что есть возмездие  
и что душе оно не нужно.

За женщиной мы гонимся упорно,  
азартом распаяя обожание,  
но быстро стынют радости от формы  
и грустно проступает содержание.

Занятия, что прерваны тюрьмой,  
скатились бы к бесплодным разговорам,  
но женщины, не познанные мной,  
стоят передо мной живым укором.

Язык вранья упруг и гибок  
и в мыслях строго безупречен,  
а в речи правды — тьма ошибок  
и слог нестройностью увечен.

Тюремный срок не длится вечность,  
еще обнимем жен и мы,  
и только жаль мою беспечность,  
она не вынесла тюрьмы.

Среди тюремного растреления  
живу, слегка опавши в теле,  
и сочиняю впечатления,  
которых нет на самом деле.

Доставшись от ветхого прадеда,  
во мне совместились исконно  
брезгливость к тому, что несправедно,  
с азартом к обману закона.

Не с того ль я угрюм и печален,  
что за год, различимый насквозь,  
ни в одной из известных мне спален  
мне себя наблюдать не пришлось?

Тюрьма, конечно, — дно и пропасть,  
но даже здесь, в земном аду,  
страх — неизменно верный компас,  
ведущий в худшую беду.

Моя игра пошла всерьез —  
к лицу лицом ломлюсь о стену,  
и чья возьмет — пустой вопрос,  
возьмет моя, но жалко цену.

Мы предателей наших никак не забудем  
и счета им предъявим за нашу судьбу,  
но не дай мне Господь недоверия к людям,  
этой страшной болезни, присущей рабу.

Какие прекрасные русские лица!  
Какие раскрытые ясные взоры!  
Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца.  
Растрелитель. И воры, и воры, и воры.

В тюрьме о кладах разговоры  
текут с утра до темноты,  
и нежной лаской дышат воры,  
касаясь трепетной мечты.

Какие бы книги России сыны  
создали про собственный опыт!  
Но Бог, как известно, дарует штаны  
тому, кто родился без жопы.

Жизнь — серьезная, конечно,  
только все-таки игра,  
так что фарт возможен к вечеру,  
если не было с утра.

Мне роман тут попался сопливый,  
как сирот разыскал их отец,  
и, заплакав, уснул я, счастливый,  
что всплакнуть удалось наконец.

Под этим камнем я лежу.  
Вернее, то, что было мной,  
а я теперешний — сижу  
уже в совсем иной пивной.

Вчера, ты было так давно!  
Часы стремглав гоняют стрелки.  
Бывает время пить вино,  
бывает время мыть тарелки.

Я днями молчу и ночами,  
я нем, как вода и трава;  
чем дольше и глубже молчанье,  
тем выше и чище слова.

Клянусь я прошлогодним снегом,  
клянусь трухой гнилого пня,  
клянусь врагов моих ночлегом —  
тюрьма исправила меня.

Я взвесил пристально и строго  
моей души материал:  
Господь мне дал довольно много,  
но часть я честно растерял,  
а часть усохла в небрежении,  
о чем я несколько грущу  
и в добродетельном служении  
остатки по ветру пушу.

Минуют сроки заточения,  
свобода поезд мне подкатит,

и я скажу: «Мое почтение!» —  
входя в пивную на закате.  
Подкинь, Господь, стакан и вилку,  
и хоть пошли опять в тюрьму,  
но тяжелее, чем бутылку,  
отныне я не подниму.

### Камерные гарики. Сибирский дневник

Судьбы моей причудливое устье  
внезапно пролегло через тюрьму  
в глухое, как Герасим, захолустье,  
где я благополучен, как Муму.

Все это кончилось, ушло,  
исчезло, кануло и сплыло,  
а было так нехорошо,  
что хорошо, что это было.

Приемлю тяготы скитаний,  
ничуть не плачась и не ноя,  
но рад, что в чашу испытаний  
теперь могу подлить спиртное.

С тех пор, как я к земле приник,  
я не чешу перстом в затылке,  
я из дерьма сложил парник,  
чтоб огурец иметь к бутылке.

Живу, напевая чуть слышно,  
беспечен, как зяблик на ветке,  
расшиты богато и пышно  
мои рукава от жилетки.

Я — ссыльный, пария, плебей,  
изгой, затравлен и опаслив,  
и не пойму я, хоть убей,  
какого хера я так счастлив.

Я странствовал, гостил в тюрьме, любил,  
пил воздух, как вино, и пил вино, как воздух,  
познал азарт и риск, богат недолго был  
и вновь бездонно пуст. Как небо в звездах.

Не соблазняясь жирным кусом,  
любым распахнут заблуждениям,

в несчастья дни я жил со вкусом,  
а в дни покоя — с наслаждением.

Что ни день — обнажившись по пояс,  
я тружусь в огороде жестоко,  
а жена, за мой дух беспокоясь,  
мне читает из раннего Блока.

Я снизил бытие свое до быта,  
я весь теперь в земной моей судьбе,  
и прошлое настолько мной забыто,  
что крылья раздражают при ходьбе.

Мне очень крепко повезло:  
в любой тюрьме, куда ни денете,  
мое пустое ремесло  
нужды не знает в инструменте.

Прядка мы жаждем! Как формы для теста.  
И скоро мясной мускулистый мессия  
для миссии этой заступит на место,  
и снова, как встарь, присмирееет Россия.

Меня растащат на цитаты  
без никакой малейшей ссылки,  
поскольку автор, жид пархатый,  
давно забыт в сибирской ссылке.

Когда уходил я, приятель по нарам,  
угрюмый охотник, таежный медведь,  
«Послушай, — сказал он, — сидел ты  
не даром, не так одиноко мне было сидеть».

Кочевник я. Про все, что вижу,  
незамедлительно пою,  
и даже говный прах не ниже  
высоких прав на песнь мою.

Есть время жечь огонь и сталь ковать,  
есть время пить вино и мять кровать;  
есть время (не ума толчок, а сердца)  
поры перекурить и осмотреться.

Мир так непостоянен, сложен так  
и столько лицедействует обычно,  
что может лишь подлец или дурак

о чем-нибудь судить категорично.

О девке, встреченной однажды,  
подумал я со счастьем жажды.  
Спадут ветра и холода —  
опять подумаю тогда.

Что мне в раю гулянье с арфой  
и в сонме праведников членство,  
когда сегодня с юной Марфой  
вкушу я райское блаженство?

Ко мне порой заходит собеседник,  
неся своих забот нехитрый ворох,  
бутылка — переводчик и посредник  
в таких разноязыких разговорах.

Брожу вдоль древнего тумана,  
откуда ветвь людская вышла:  
в нас есть и Бог, и обезьяна;  
в коктейле этом — тайны вишня.

От бессилия и бесправия,  
от изжоги душевной путаницы  
со штанов моего благонравия  
постепенно слетают пуговицы.

Как лютой крепости пример,  
моей душою озабочен,  
мне друг прислал моржовый хер,  
чтоб я был тверд и столь же прочен.

Нынче это глупость или ложь —  
верить в просвещение, по-моему,  
ибо что в помой ни вольешь —  
теми же становится помоями.

Отъявленный, заядлый и отпетый,  
без компаса, руля и якорей  
прожил я жизнь, а памятником ей  
останется дымок от сигареты.

Один я. Задернуты шторы.  
А рядом, в немой укоризне,  
бесплотный тот образ, который  
хотел я сыграть в этой жизни.

Даже в тесных объятьях земли  
буду я улыбаться, что где-то  
бесконвойные шутки мои  
каплют искорки вольного света.

Вечно и везде — за справедливость  
длится непрерывное сражение;  
в том, что ничего не изменилось,  
главное, быть может, достижение.

Здесь — реликвии. Это святыни.  
Посмотрите, почтенные гости.  
Гости смотрят глазами пустыми,  
видят тряпки, обломки и кости.

Спасибо организму, корпус верный  
устойчив оказался на плаву,  
но все-таки я стал настолько нервный,  
что вряд ли свою смерть переживу.

Порой оглянешься в испуге,  
бег суеты притормозя:  
где ваши талии, подруги,  
где наша пламенность, друзья?

Сегодня дышат легче всех  
лишь волк да таракан,  
а нам остались книги, смех,  
терпенье и стакан.

Хоть я живу невозмутимо,  
но от проглоченных обид  
неясно где, но ощутимо  
живот души моей болит.

Грусть подави и судьбу не гневи  
глупой тоской пустяковой;  
раны и шрамы от прежней любви —  
лучшая почва для новой.

Целый день читаю я сегодня,  
куча дел забыта и заброшена,  
в нашей уцененной преисподней  
райское блаженство очень дешево.

Когда, отказаться не вправе,  
мы тонем в друзьях и приятелях,  
я горестно думаю: Авель  
задушен был в братских объятиях.

За годом год я освещу свой быт  
со всех сторон,  
и только жаль, что пропущу  
толкучку похорон.

Все говорят, что в это лето  
продукты в лавках вновь появятся,  
но так никто не верит в это,  
что даже в лете сомневаются.

Бог молчит совсем не из коварства,  
просто у него своя забота:  
имя его треплется так часто,  
что его замучила икота.

Летит по жизни оголтело,  
бредет по грязи не спеша  
мое сентябрьское тело,  
моя апрельская душа.

Чем пошлей, глупей и примитивней  
фильмы о красавости страданий,  
тем я плачу гуще и активней  
и безмерно счастлив от рыданий.

В чистилище — дымно, и вобла, и пена;  
чистилище — вроде пивной;  
душа, закурив, исцеляет степенно  
похмелье от жизни земной.

Сытным хлебом и зрелищем дивным  
недовольна широкая масса.  
Ибо живы не хлебом единым,  
а хотим еще водки и мяса.

Раскрылась доселе закрытая дверь,  
напиток познания сладок,  
небесная высь — не девица теперь,  
и больше в ней стало загадок.

Друзья мои живость утратили,

угрюмыми ходят и лысыми,  
хоть климат наш так замечателен,  
что мыши становятся крысами.

На свете есть таинственная власть,  
ее дела кромешны и сугубы,  
и в мистику никак нельзя не впасть,  
когда болят искусственные зубы.

Духом прям и ликом симпатичен,  
очень я властям своим не нравлюсь,  
ибо от горбатого отличен  
тем, что и в могиле не исправлюсь.

Нет, будни мои вовсе не унылы,  
и жизнь моя, терпимая вполне,  
причудлива, как сон слепой кобылы  
о солнце, о траве, о табуне.

К приятелю, как ангел-утешитель,  
иду залить огонь его тоски,  
а в сумке у меня — огнетушитель  
и курицы вчерашние куски.

Бездарный в акте обладания  
так мучим жаждой наслаждений,  
что утолят его страдания  
лишь факты новых овладений.

Зря ты, Циля, нос повесила:  
если в Хайфу нет такси,  
нам опять живется весело  
и вольготно на Руси.

Ты со стихов иметь барыш,  
душа корыстная, хотела?  
И он явился: ты паришь,  
а снег в Сибири топчет тело.

Слаб и грешен, я такой,  
утешаюсь каламбуром,  
нету мысли под рукой —  
не гнушаюсь калом бурым.

Моим стихам придет черед,  
когда зима узду ослабит,

их переписчик переверт  
и декламатор испохабит.

Я тогу — на комбинезон сменил,  
как некогда Овидий  
(он также Публий и Назон),  
что сослан был и жил в обиде,  
весь день плюя за горизонт,  
и умер, съев несвежих мидий.

Приятно думать мне в Сибири,  
что жребий мой совсем не нов,  
что я на вечном русском пире  
меж лучших — съеденных — сынов.

Я пил нектар со всех растений,  
что на пути своем встречал;  
гербарий их засохших теней  
теперь листаю по ночам.

Был ребенок — пеленки мочил я, как мог;  
повзрослев, подмочил репутацию;  
а года протекли, и мой порох намок —  
плачу, глядя на юную грацию.

Как ты поешь! Как ты колышешь стан!  
Как облик мне твой нравится фартовый!  
И держишь микрофон ты, как банан,  
уже к употреблению готовый.

Словить иностранца мечтает невеста,  
надеясь побыть в заграничном кино  
посредством заветного тайного места,  
которое будет в Европу окно.

Где ты нынче? Жива? Умерла?  
Ты была весела и добра.  
И ничуть не ленилась для ближнего  
из белишка выпархивать нижнего.

Жена меня ласкает иногда  
словами утешенья и привета:  
что столько написал ты — не беда,  
беда, что напечатать хочешь это.

На самом краю нашей жизни

я думаю, влазя на печь,  
что столько я должен отчизне,  
что ей меня надо беречь.

Весна сняла обузу снежных блузок  
с сирени, обнажившейся по пояс,  
но я уже на юных трясогузок  
смотрю, почти ничуть не беспокоясь.

Я — удачник. Что-то в этом роде.  
Ибо в час усталости и смуты  
радость, что живу, ко мне приходит  
и со мною курит полминуты.

В Сибирь я врос настолько крепко,  
что сам Господь не сбавит срок;  
дед посадил однажды репку,  
а после вытащить не смог.

В том, что я сутул и мешковат,  
что грустна фигуры география,  
возраст лишь отчасти виноват,  
больше виновата биография.

Учусь терпеть, учусь терять  
и при любой житейской стуже  
учусь, присвистнув, повторять:  
плевать, не сделалось бы хуже.

Есть власти гнев и гнев Господень.  
Из них которым я повержен?  
Я от обоих не свободен,  
но Богу — грех, что так несдержан.

Слова в Сибири, сняв пальто,  
являют суть буквальных истин:  
так, например, беспечен тот,  
кто печь на зиму не почистил.

Я проснулся несчастным до боли в груди —  
я с врагами во сне пировал;  
в благодарность клопу, что меня разбудил,  
я свободу ему даровал.

Как жаждет славы дух мой нищий!  
Чтоб через век в календаре

словно живому (только чище)  
сидеть, как муха в янтаре.

Моим конвойным нет загадок  
ни в небесах, ни в них самих,  
царит уверенный порядок  
под шапкой в ягодицах их.

Муки творчества? Я не творю,  
не мечусь, от экстаза дрожа;  
черный кофе на кухне варю,  
сигарету зубами держа.

Служить высокой цели? Но мой дом ни разу  
этой глупостью не пах.  
Мне форма жмет подмышки. И притом  
тревожит на ходу мой вольный пах.

О чем судьба мне ворожит?  
Я ясно слышу ворожею:  
ты гонишь волны, старый жид,  
а все сидят в гавне по шею.

Когда б из рая отвечали,  
спросить мне хочется усопших —  
не страшно им ходить ночами  
сквозь рощи девственниц усохших?

С природой здесь наедине,  
сполна достиг я опрощения;  
вчера во сне явились мне  
Руссо с Толстым, прося прощения.

В неусыпном душевном горении,  
вдохновения полон могучего,  
сочинил я вчера в озарении  
все, что помнил из Фета и Тютчева.

И в городе не меньше, чем в деревне,  
едва лишь на апрель сменился март,  
крестьянский, восхитительный и древний  
цветет осеменительный азарт.

А ночью небо расколосось,  
и свод небес раскрылся весь,  
и я услышал дальний голос:

не бойся смерти, пьют и здесь.

Уже в костях разлад и крен,  
а в мысли чушь упрямо лезет,  
как в огороде дряхлый хрен  
о юной редьке сонно грезит.

Мой воздух чист, и даль моя светла,  
и с веком гармоничен я и дружен,  
сегодня хороши мои дела,  
а завтра они будут еще хуже.

Конечно, жизнь — игра. И даже спорт.  
Но как бы мы себя ни берегли,  
не следует ложиться на аборт,  
когда тебя еще и не ебли.

Не зная зависти и ревности,  
мне очень просто и легко  
дойти из бурной повседневности  
уютю птичье молоко.

Новые во мне рождает чувства  
древняя крестьянская стезя:  
хоть роскошней роза, чем капуста,  
розу квасить на зиму нельзя.

Муза истории, глядя вперед,  
каждого разно морочит;  
истая женщина каждому врет  
именно то, что он хочет.

Царствует кошмарный винегрет  
в мыслях о начале всех начал:  
друг мой говорил, что Бога нет,  
а про черта робко умолчал.

Живу я безмятежно и рассеянно;  
соседи обсуждают с интересом,  
что рубль, их любимое растение,  
нисколько я не чту деликатесом.

Пожить бы сутки древним циником:  
на рынке вставить в диспут строчку,  
заесть вино сушеным фиником  
и пригласить гречанку в бочку.

Под утро ножкою точеной  
она поерзает в соломе,  
шепча, что я большой ученый,  
но ей нужней достаток в доме.  
Я запахну свою хламиду,  
слегка в ручье ополоснусь,  
глотком воды запью обиду  
и в мой сибирский плен вернусь.

Жаркой пищи поглощение вкупе  
с огненной водой —  
мой любимый вид общения  
с окружающей средой.

Ость люди — как бутылки: в разговоре  
светло играет бликами стекло,  
но пробку ненароком откупорил —  
и сразу же зловонье потекло.

Мой дух ничуть не смят и не раздавлен;  
изведав и неволю и нужду,  
среди друзей по рабству я прославлен  
здоровым отвращением к труду.

Всем дамам улучшает цвет лица  
без музыки и платья чудный танец,  
но только от объятий подлеца  
гораздо ярче свежесть и румянец.

Не дослужась до сытой пенсии,  
я стану пить и внуков нянчить,  
а также жалобными песнями  
у Бога милостыню кланчить.

Я не спорю — он духом не нищий.  
Очень развит, начитан, умен.  
Но, вкушая духовную пищу,  
омерзительно чавкает он.

Я машину свою беспощадно гонял,  
не боясь ни погоды, ни тьмы;  
видно, ангел-хранитель меня охранял,  
чтобы целым сберечь для тюрьмы.

Со старым другом спор полночный.  
Пуста бутылка, и спит округа.

И мы опять не помним точно,  
в чем убедить хотим друг друга.

Между мелкого, мерзкого, мглистого  
я живу и судьбу не кляню,  
а большого кто хочет и чистого,  
пусть он яйца помоем слону.

Когда фортуна даст затрещину,  
не надо нос уныло вешать,  
не злись на истинную женщину,  
она вернется, чтоб утешить.

В пылу любви ума затмение  
овладевает нами всеми —  
не это ль ясное знамение,  
что Бог устраивает семьи?

В безумных лет летящей череде  
дух тяжело без общенья голодает;  
поэту надо жить в своей среде:  
он ей питается, она его съедает.

Нас будто громом поражает,  
когда девица (в косах бантики),  
играя в куклы (или в фантики),  
полна смиренья (и романтики),  
внезапно пухнет и рождает.  
Чем это нас так раздражает?

Вновь себя рассматривал подробно:  
выщипали годы мои перья;  
сестрам милосердия подобно,  
брат благоразумия теперь я.

Всегда, мой друг, наказывали нас,  
карая лютой стужей ледяной;  
когда-то, правда, ссылкой был Кавказ,  
но там тогда стреляли, милый мой.

Крушу я ломом грунт упорный,  
и он покорствуется удару,  
а под ногтями траур черный —  
по моему иному дару.

Любовь и пьянство — нет примера

тесней их близости на свете;  
ругает Бахуса Венера,  
но от него у ней и дети.

Ость кого мне при встрече обнять;  
сядем пить и, пока не остыли,  
столько глупостей скажем опять,  
сколько капель надежды в бутыли.

И не спит она ночами,  
и отчаян взгляд печальный,  
утолит ее печали  
кто-нибудь совсем случайный.

Что сложилось не так,  
не изменишь никак  
и назад не веротишь уже.  
только жалко, что так  
был ты зелен, дурак,  
а фортуна была в неглиже.

Тигра гладить против шерсти  
так же глупо, как по шерсти.  
Так что если гладить,  
то, конечно, лучше против шерсти.

Пою как слышу. А традиции,  
каноны, рамки и тенденция —  
мне это позже пригодится,  
когда наступит импотенция.

Если так охота врать,  
что никак не выстоять,  
я пишу вранье в тетрадь  
как дневник и исповедь.

Окунулся я в утехи гастрономии,  
посвятил себя семейному гнезду,  
ибо, слабо разбираясь в астрономии,  
проморгал свою счастливую звезду.

На мои вопросы тихие  
о дальнейшей биографии  
отвечали грустно пифии:  
нет прогноза в мире мафии.

Наука, ты помысли хоть мгновение,  
что льешь себе сама такие пули:  
зависит участь будущего гения  
от противозачаточной пилюли.

Мы от любви теряем в весе  
за счет потери головы  
и воспаряем в поднебесье,  
откуда падаем, увы.

Когда вершится смертный приговор,  
душа сметает страха паутину.  
Пришла пора опробовать прибор,  
сказал король, взойдя на гильотину.

Ты люби, душа моя, меня,  
ты уйми, душа моя, тревогу,  
ты ругай, душа моя, коня,  
но терпи, душа моя, дорогу.

Я верю в мудрость правил и традиций,  
весь век держусь обычности привычной,  
но скорбная обязанность трудиться  
мне кажется убого-архаичной.

Слухи, сплетни, склоки, свары,  
клевета со злоязычием,  
попадая в мемуары,  
пахнут скверной и величием.

Кгда между людьми и обезьянами  
найдут недостающее звено,  
то будет обезьяньими оно  
изгоями с душевными изьянами.

Если бабе семья дорога,  
то она изменять если станет,  
ставит мужу не просто рога,  
а рога изобилия ставит.

Поверх и вне житейской скверны,  
виясь, как ангелы нагие,  
прозрачны так, что эфемерны,  
витают помыслы благие.

## Трактат о разности ума<sup>117</sup>

Я написал однажды книгу о социальной психологии, рукопись была зарезана в издательстве "Искусство". Я чуть ниже расскажу эту историю. Придумав некогда народную поговорку для пишущих людей: "кашу Марксом не испортишь", я ей следовал неукоснительно - каждой главе в этой книге предшествовал эпиграф из какого-нибудь пристойного классика. Но так как я необразован и ленив, то не рылся ни в каких сборниках цитат (или, упаси Господь, первоисточниках), а просто сочинял цитату сам, приклеивая к ней приличную фамилию. Главу о глупости украшало вот какое изречение: "Дурак - это человек, считающий себя умнее меня". Принадлежало оно Диогену Лаэртскому, о котором я и по сей час не знаю ровно ничего, так что возможно даже, что он нечто подобное мог сказать. Хотя навряд ли. Если вообще существовал.

И главу эту я решил поместить в книге воспоминаний, ибо именно она описывает и перечисляет разные круги, зигзаги и кривые нашей удивительной земной жизнедеятельности.

До сих пор никому на свете не известно досконально, что это такое - ум. Однако же (при обсуждении любого встречного и поперечного) мы то восхищенно говорим об уме высоком, светлом и пронизательном, то сострадательно молчим, чтоб не обидеть хорошего человека. Вполне очевидна важность, ценность и весомость этой человеческой черты. Поскольку сообразно уровню разума (а лестница эта тянется от ярлыка "дурак" до эпитафии "мудрец") строит мыслящий тростник свои оценки, отношения, поступки и мнения. А так как давно известно, что норму легче описывать по ее нарушениям, то и разговор о качествах ума лучше вести на примерах его отсутствия. Это как раз тот нередкий случай, когда по совокупности прорех можно составить впечатление о ткани и покрое платья.

Много лет назад впервые я столкнулся с этой темой. Усердно сотрудничал я тогда с журналом "Знание - сила" (вследствие убогости знаний больше был употребляем по отделу силы). И как-то заказали мне статью: что такое глупость и всегда ли совершающий ее - дурак? Я согласился на заказ с такой радостью, что насторожил своих опытных и мудрых коллег. А на дворе как раз стояла та эпоха крайнего некроза и гниения, которую впоследствии умные люди называли временем застоя. Коллеги, спохватившись, поспешили мне невнятно, но убедительно сказать о цветах юмора, которые не следует сажать где попало, об отсебятине, которая вредна и не научна, о неодолимой временной трудности печатания любого свежего материала. Лучше всего, сказали мне они, чтоб расспросил я одного-двух психологов с ученой степенью и научной должностью. Двух даже лучше, чем одного, потому что одна голова хорошо, а две - пуще, и совместными усилиями специалисты так запутают проблему, что дураки не обидятся на внимание. Повторяю, что стояло время, когда все знали, чем это чревато.

Я однако же решил подумать самостоятельно, что для неглупого современного человека означает - порыться в классиках. Только настоящих, а не назначенных. И снял я с полки "Похвалу глупости" великого Эразма Роттердамского.

Ужасно был разочарован. Подходя к истине так близко, что уже казалось: вот-вот последует определение, великий гуманист уклонялся, словно боясь обидеть человечество. Но впрочем, он его и не жалел. По книге выходило, что чуть не все деяния и мысли человечества зачаты или рождены глупостью. Где-то мелькнуло упоминание о все-таки

---

117 По материалам сайта: [http://guberman.lib.ru/text\\_g/traktat.htm](http://guberman.lib.ru/text_g/traktat.htm)

существующем разуме, но сразу же последовал кивок на Библию ("Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, тот умножает скорбь"), и круг завершился: наибольшая глупость - умножать скорбь, и без того избыточную.

Глупость только веселит всех и радует, легкомысленно писал великий гуманист, словно в эпоху Возрождения дураков не допускали оценивать, решать и управлять. Глупы дети и глупы наслаждения, писал он, а мы любим детей и наслаждения. Глупа юность - от незнания и беспечности, но глупа и старость - от осмотрительности и скепсиса; глупо выглядят мудрецы на пиру и монахи среди мирской суеты; безнадежно и повсеместно глупы женщины; глупо потакание слабостям друзей и близких, ибо распускает их еще сильнее; глупы и смешны петушащиеся любимцы публики. Особенно глупы актеры, певцы, ораторы и поэты.

Глупость, глупость, глупость... "А божеские почести, воздаваемые ничтожнейшим людишкам, а торжественные обряды, которыми сопричислялись к богам гнуснейшие тираны?" Чтобы не терпеть неприятностей от общения с вечной и повсюдной глупостью, - вспоминал Эразм слова Еврипида, - умные люди должны быть двуязычны - говорить одним языком правду, а другим - разглагольствовать сообразно времени и обстоятельствам.

Нет, положительно ничего нового не внес в решение проблемы писатель Э. Роттердамский, огульно охаявший в своем поверхностном труде всю современную ему действительность. И я уверен, что после выхода его злопыхательской сатиры было много писем от общественности с требованием обуздать клеветника, чтобы впредь ему было неповадно.

Вот черта, зорко подмеченная Эразмом Роттердамским: ни один человек на свете не мечтает избавиться от глупости, ибо вполне доволен иллюзорным сиянием своей полной умственной состоятельности. Оттого-то глупость и распевает в этой книге непрерывные сама себе дифирамбы. Что подмечено весьма достоверно: именно дурак особо склонен хвалить не только все, что сделал, но и то, к чему хотя бы причастен. Хвалить упоенно, захлеб, самозабвенно, требовать хвалы от окружающих и настойчиво организовать ее - ради самой хвалы, порою даже без корыстной цели.

Очевидно, довольство своим умом - наша общая человеческая черта, но только в дураке она достигает горделивой полноты. Не верьте тому, кто в огорчении или унынии обзывает сам себя дураком и сетует на умственную несостоятельность. Не верьте! Дурак не сделает такого, хоть зарежь. Это, конечно, умный: либо совершил ошибку и жалеет, либо придуривается с умыслом. Придуривание - это поведение, для которого нужен ум. Личина бравого солдата Швейка - маска спасительная и надежная. Притворяться глупей, чем есть, чтобы получать то скидку, то надбавку, - выгодно, полезно и удобно. "Дурак-дурак, а мыло не ест", - констатирует такую хитрость народная наблюдательность. Умному дурацкий колпак - и дом отдыха, и шапка-неуязвимка. А истинный дурак не любит, боится и стесняется дурацкого колпака, он обожает тогу и котурны, фимиам, треножник и панегирики. (Я словарь древнеримских греков предпочел сознательно ради высокой академичности изложения.)

Только неужели психологи старой школы, чисто описательно подходившие к работе человеческого мозга, - неужели они прошли мимо такой насыщенной темы?  
Не прошли.

\* \* \*

В октябре 1896 года на собрании Московского общества невропатологов и психиатров с большой речью выступил известный врач и вдумчивый психолог Окарский. Называлась его речь "О глупости", и ничего современной и духовно питательней я в жизни не читал.

История человечества, говорил Токарский, - эт в такой же мере история глупости, как и история гениальности. Ибо именно глупость с полнотой и яркостью воплощала в словах и действиях все заблуждения, ошибки, предрассудки, суеверия, догмы и традиции, шаблоны и каноны своего времени. Глупость усердно, самозабвенно и старательно перегибала палку, доводя идеи до абсурда, а условности - до идиотизма, помогая следующим поколениям осознать, что это глупость, и поэтому ее преодолеть. Чтобы немедленно сочинить что-нибудь новое, предоставляя глупости рьяно ухватиться за него или хотя бы закрутиться вокруг. Это и есть прогресс, и был бы он без глупости невыносим.

Не в силах лаконично определить понятие, Токарский перечислил проявления, которых бы хватило на небольшой специальный словарь: ограниченность (узость и недалекость), безрассудство, самодовольство, легкомыслие, слепота, неосмотрительность, беспечность, упрямство, разгильдяйство, категоричность, бесцельность, нелепость, самоуверенность, апломб, тупое подражание.

Но главное было в речи Токарского - анализ русской народной сказки о дурачке (а таковая есть наверняка у всех народов и на всех языках).

Вчера только избили дурака - играл на дудке и плясал на похоронах. Уже мать объяснила ему: надо поступать в соответствии с тем, что видишь. И сегодня снова дурак увидел толпу людей и, уже наученный, с готовностью (более того - с любовью к людям и желанием угодить) принялся горько плакать. Но его опять побили, потому что это была свадьба.

Другие варианты аналогичны. Пошел дурак по деревне и видит: загорелась конюшня. Первая реакция на нечто неизвестное у него всегда одинакова: он стал играть на дудочке и плясать. Побили. Поплелся к матери. "Глупый, - сказала мать, - ты взял бы ведро с водой и залил огонь". Пошел опять дурак и видит: на зарезанной свинье щетину палаят. Он схватил и выплеснул ведро воды. Последствия понятны.

(Кстати, пусть меня на этом месте великодушно остоят безусловно умные, но настолько старательные евреи, что болезненно вздрагивают они и с печальной осудительностью смотрят, если кто-нибудь упомянет само название этого милого домашнего животного. Испуг этих ревнителей имеет прямое отношение к нашей теме.)

Искушенный современный читатель растолковал бы все сюжеты просто и легко: за чем ходил к матери дурак, побитый впервые? За ценными руководящими указаниями. За что же его опять побили? За слепое следование последней инструкции.

А ведь жизнь переменчива! И воспринимать ее в течении, верно оценивать применимость и уместность заученного - вот чего не может глупость.

Идя путем чисто научным, Токарский увидел в поведении дурака нечто более глубокое и общее. Наш разум обычно строит поступки и мнения на основе далеко не полных данных о характере ситуации. Мы ведь нормально и естественно усваиваем только часть того, что видим и слышим (а еще сколько не видим и не слышим!), вовсе не всегда мы верно и полно улавливаем все связи в увиденном и услышанном. Зато мы точно выделяем признаки существенные и значимые (толпа, покойник, жених с невестой, огонь, конюшня, свинья), сопоставляем их с нашим опытом и совершаем поступок. Это может быть

вариант готовый и привычный, но может быть - и сочиненный на месте. И дурак поступает так же, но из прошлого усвоил мало или неверно, а сейчас неверно понял, ибо пропустил существенные признаки.

Однако вот что очень важно: "Дурак свободен от сомнений. Восприняв мало, глупый полагает, что воспринял все, и считает себя обладателем истины..." (Токарский)

Вот почему дураки так уверены, категоричны, безапелляционны и решительны: ведь безусловна истина на каждый случай - у них в кармане! И чем больше накопилось опыта (слабо переваренного но крепко усвоенного), тем несговорчивей и тверже, тем бесповоротной и отважнее дурак. И покуда умники еще только сомневаются, обдумывают, перебирают варианты и последствия, дурак уже все понял и вынес неукоснительное суждение. Или даже наломал уже дров. А при столкновении асфальтового катка с человеком всегда страдает человек - даже если каток был не прав и слегка поторопился. А в цивилизованном двадцатом веке при наличии связи и технологии дурак делается глобально страшен и опасен - я не о мерзавцах говорю, а именно о дураках.

И потому обменный курс: за одного битого двух небитых дают - не должен относиться к битому дураку, поскольку опыт плохо и неполно усваивался им. Вот, например, сидит дурак на суку и старательно пилит этот сук. Вот он упал, ударился, и даже сам сообразил причину (если крепок задним умом). Теперь он - дурак с опытом. Это придает ему сил и решимости. Сук он больше пилить не станет. "Нашли дурака", - презрительно скажет он. Даже не полезет, скорее всего, на сук. Но в колодец не задумываясь плюнет. А от дождя побежит прятаться в пруд. Сидя в стеклянном доме, будет кидать в прохожих камни. И так далее. А всем возможным жизненным ситуациям обучить заранее невозможно. А нам с ним рядом - жить и жить. Порою даже глупо и опасно становясь между дураком и совершаемой им глупостью.

Но как же образование? О, образование безусловно меняет: отчасти просветляет, а отчасти - усугубляет глупость, становясь ее щитом и мечом. В то же время невежество - это порох и бензин глупости. Так что равно плохо сказываются на дураке и ученье (свет), и неученье (тьма). Хотя, конечно, польза образования неоспорима и высока. Но Чехов не без грусти сказал однажды, что образование развивает все способности, а в том числе - и глупость.

Оттого давно и глубоко замечено, что ученый дурак глупее, чем неученый. В наш век повального просвещения это стало еще видней, ибо круглые дураки становятся многогранными. Но образование ожесточает неразумие. В узкой своей области дурак может достичь огромных подлинных успехов и плодотворно с пользой передать другим свою сугубую эрудицию. Да только вот беда: осведомленность в узком коридоре специальных знаний наделяет ученого дурака неопишуемым апломбом, растекающимся на все остальное пространство жизни. Он не устает поучать, советовать, наставлять, оценивать, раскрывать глаза, вмешиваться, истолковывать, входить в комиссии и комитеты по любым вопросам и проблемам.

А полное отсутствие сомнения в себе и правоте своей (сомнение - начало мудрости, вспоминает Токарский слова Аристотеля) и раздражительная неприязнь к тем, кто высказывает такое сомнение, - сочетаются в дураке с недоверчивостью к советам и мнениям окружающих.

Ибо ошибочно считать, что дураки доверчивы и добродушны. Это пагубное и опасное заблуждение. А упрямый, несговорчивый, подозрительный, упоенный, целеустремленный, напыщенный, полномочный и самовлюбленный дурак? А убежденный и

неукоснительный? А бдительно ищущий еретических отклонений, несоблюдения или превратных толкований?

Природа чрезвычайно справедлива: недодачу разума она со щедростью возмещает самоуверенностью, апломбом и нетерпимостью. И поэтому дурак с убеждениями - большая опасность для окружающих (даже разделяющих его убеждения).

Из-за великого разнообразия глупости мое исследование оказалось очень затруднительным. Ибо дурак бывает молчаливый и болтун, застенчивый и развязный, веселый и грустный, общительный и замкнутый, счастливчик и неудачник, верный и подлый, образованный и невежда, трудолюбивый и лентяй, хвостун и скромник, воспитанный и хам, талантливый и бездарный, инициативный и пассивный, отважный и боязливый, прямотушный и хитрец. Я чуть было не написал тут: умный и глупый - и был бы прав, что легко увидеть из дальнейшего.

А кстати, об уме и горе от ума. Ясность этой ситуации слегка подпортил ее родоначальник Чацкий: давно уже замечено кем-то, что вовсе он не так уж был умен. Ибо никак нельзя назвать умным человека, который по поводу и без декламирует свои возвышенные речи то перед сытым недалеким барином, то перед елозящим приживалой, то перед пустой бабешкой, а то и вовсе перед военизированным шкафом. Ибо ум - это неременное и ясное понимание, с кем ты имеешь дело, кому и что разумно говорить.

Например, умен ли был добрый повар из известной басни, мягко стыдивший вороватого кота?

А достаточно ли был умен карась-идеалист, поплывший к щуке потолковать о добродетели? Хотя и жаль его, но вряд ли.

Правда, у Токарского причисляются к глупым и довольно спорные поступки. Он вспоминает прекрасный и поучительный эпизод у Рабле - когда Панург, купивший у купца на корабле одного барана из огромного стада, неожиданно бросил этого барана за борт. Восторженно бляя, все до единого бараны принялись прыгать за борт, спеша и толкая друг друга, чтобы успеть за товарищами. Тут Рабле упомянул Аристотеля, не зря считавшего баранов самыми глупыми животными, и Токарский соглашается с ним, полагая такое пагубное подражание очевидной глупостью. Но это стоит обсудить, поскольку вывод не бесспорен.

Подражание очень глубоко сидит в человеческой психологии. Это благое наследие наших предков, живших некогда стадами и стаями, а потом племенами. Подражание было разумно и необходимо тогда, чтобы выжить (некто первым, например, замечает опасность и бежит), но и сейчас в нем много пользы и смысла. Подражание - основа обучения и воспитания, где многое состоит из личного показа, примера, собственных поступков и отношении.

Но вернемся к нашим баранам. Стоило ли им бросаться в море за первым? Я попытаюсь размышлять, влезая в баранью шкуру. Некогда Женева славилась обилием предприимчивых и хитрых обывателей. И появилась в Европе пословица: "Если видишь, что женевец кидается из окна, спокойно следуй за ним - не останешься в накладе".

И вот я стою на палубе, баран-бараном, и вижу, как спешно и радостно сигают в море мои близкие товарищи. Я не имею возможности расспросить их (таково частое условие житейской задачи), а хоть бы и сумел - они бормочут невнятицу или ссылаются на уже прыгнувших, и я не знаю, что делать. Я вспоминаю эту женевскую пословицу (или думаю о стихийной мудрости еврейского народа) и лихорадочно соображаю. Что, если

прыгающие что-то знают (или чувствуют), и я, оставшийся на палубе, тем самым останусь в дураках?

А может быть, прыгающие - просто бараны? Но что-то очень уж их много.

А папа, помнится, мне с детства говорил: "Ты только не считай других глупее себя - ошибешься и ушибешься". Да, мне папа вот еще что часто говорил:

"Почему ты все время норовишь выделиться и поступаешь не как все? Очень ты умный, что ли?" (Кстати, в былые времена этот вопрос звучал осудительно, как избличая человека не совсем своего, хитреца, умышленника, выжигу и себе на уме.) - "Ты думаешь, что все идут не в ногу, а ты - в ногу?" - говорил мне папа. (За это нас, евреев, и не любят, - звучало в его словах, тяжело пахнувших житейским опытом.) - "А коллектив всегда умнее, потому что его больше", - говорил папа.

Боже, сколько их уже прыгнуло! И прямо в море! Ведь утонут, вот бараны! И как торопятся, неужели не понимают? А вон один знакомый, очень, очень неглупый, а как блеет, стараясь протолкаться к борту! Ну уж нет, я не баран, чтобы остаться последним.

Короче, я прыгнул тоже; прощай, читатель. А скорей, - до свидания, поскольку я уверен, что прыгнул бы и ты. Не будешь ты стоять, как баран, где все вокруг тебя кипят и устремляются. Подражание - не глупость, и очень трудно оставаться одному - даже когда уверен, что правильно оценил перспективу.

Однако же не исключена ситуация, что первые были просто баранами, а остальные рассуждали мудро и здраво (как я сейчас), - но именно поэтому последовали за первыми. Отсюда следует простая и здоровая (казалось бы) мораль: в коллективных действиях главное - не дать вырваться вперед заведомым баранам.

А если некий Панург подтолкнул их специально?

А если стадо разделилось на две половины и в каждой из них есть уважаемый баран?

Не в силах разобраться, все-таки обратился я к ученым людям: что такое глупость и всегда ли совершающий ее - дурак?

\* \* \*

Мой первый собеседник - широко известный в своей области ученый, психиатр и психолог Бассин. Вы уже оставили земную жизнь, дорогой Филипп Вениаминович, примите на неведомом расстоянии мою любовь и благодарность за годы нашей дружбы. За долгие прекрасные разговоры, за ту дивную душевную приподнятость, с которой неизменно выходил я от Вас, ибо в молодости новое познание мира приносит чистую и свежую радость, и Вы со щедростью дарили мне это чувство.

Хоть видит Бог, я не всегда понимал Вас, а еще знал, что многие коллеги отзываются о Вас (мягко говоря) снисходительно. В годы, когда имя Фрейда упоминалось только со словами поношения, Вы непрестанно писали статьи о работе мозга на загадочных глубинах подсознания, неуклонно вступая с Фрейдом в полемику (оттого только статьи и печатались), но тем самым упрямо сохраняя его имя в обиходе научных споров. "Приспособленец", - презрительно говорили про Вас чистоплюи, выбравшие гордое (и послушное) умолчание. "Он глупо лезет на рожон", - говорили осторожные мудрецы, покорно принявшие гнусное условие, что Фрейд - имя подрывное и научно неприличное. Потом вдруг оказалось, что уже вполне безопасно обсуждать его великие открытия в подсознании; время незаметно и круто переменялось. А что этот каменный барьер без крика и ажиотажа подточили именно Вы - навряд ли кто-нибудь сказал вслух - разве что в некрологе, возможно. Но я его уже не читал.

- Глупость? - переспросил профессор. - Это просто следствие плохого или расстроенного управления. Поведением, поступками, мышлением и речью. Вековые русские пословицы очень точно иллюстрируют это явление: "дурная голова ногам покоя не дает", "сила есть - ума не надо", "заставь дурака Богу молиться - он и лоб расшибет". Дураки носят воду решетом и толкут ее в ступе, плюют против ветра, ищут потерянное не там, где потеряли, а там, где светлее - на всех языках мира есть сотни таких пословиц и поговорок. А в цивилизованном двадцатом веке при наличии средств связи и чудовищной централизации управления лишаются покоя ноги и расшибаются лбы тех, кто связан с дураком узами подчинения или сотрудничества, доверия или безвыходности ситуации.

Только я вовсе не ограничиваю глупость такими четкими и жесткими рамками, - добавил профессор, - я вовсе не такой ученый дурак, как вам уже показалось. Понятие глупости так же неисчерпаемо как понятие ума и таланта, а одну из граней можно сегодня чуть осветить. Давайте попробуем.

Последние годы многие исследователи разрабатывают теорию, согласно которой мозг непрерывно нацелен в будущее - как самое ближайшее, так и отдаленное во времени. Мозг активен: в его бесчисленных нервных сетях созревают прогнозы наиболее вероятных будущих ситуаций и варианты поведения для них. Подавляющая часть этих прогнозов и планов творится неосознанно, и лишь крохотная - всплывает в сознание. Вот несовершенство (или расстройство) этой системы и рождает поступки, действия и мысли, которые выглядят глупостью. Ибо явно глупы длинные обходные пути, если есть кратчайший; глупо выглядит ползучая осторожность в удобных и благоприятных обстоятельствах; и наоборот - неразумна поспешность в сложной и неясной ситуации. Кстати, именно поэтому очень часто смелость и решительность - лишь результат непонимания последствий, неспособность вообразить их достаточно полно, а тем самым - правильно прикинуть разумность проявляемой отваги. Яркий пример тому - речной карась, который жаждал справедливости и отважился пожаловаться крупной щуке на бесчинства щуки помельче. "Что это у тебя, голубушка, вроде карась недоволен чем-то?" - спросила крупная щука у щуки помельче. "Нет, уже всем доволен", - честно я преданно ответила щука помельче. Так вот: был ли достаточно умен покойный карась?

Именно слабость этой системы прогноза и предвидения мешает дураку оценить известную мудрость: "единожды солгавши, кто тебе поверит?" - и упоенно продолжает врать, простоудушно удивляясь, что ему уже не верят. Даже если он теперь порой говорит чистую правду.

Именно поэтому дурак видит лишь явную и скорую выгоду или пользу там, где умный различает дальние последствия этого соблазна. Дурак заглатывает наживку, умный проходит мимо. Только хотите, я сам себя опровергну? Опасливый прогноз может не сбыться, и в выигрыше оказывается дурак.

Отсутствие воображения и дерзких мыслей, ограниченность и недалекость суждений, бездумное и усердное соблюдение традиций, ритуалов и канонов - благо и залог душевного покоя, конечно, хотя то и дело это выглядит глупостью в чересчур истовых и рьяных проявлениях. Но таково ведь абсолютное большинство человечества, и упаси меня Господь от насмешки и осуждения, я говорю только о крайних случаях - но где граница?

А еще сегодня всюду стало широко известно чисто инженерное понятие: обратная связь. В любой разумно управляемой системе (будь то машина, живой организм или общество) есть непрерывное слежение за результатом каждого действия. Чтобы вводить текущие поправки, чтобы не ошибиться, не сбиться с пути, не попасть в опасную ситуацию, не

сделать нечто непоправимое. Все наши органы чувств постоянно доставляют сигналы обратной связи, а мозг и нервная система безостановочно обрабатывают эту информацию. Нагляднейшая модель механизма обратной связи - палочка, которой постукивает слепой, прокладывая себе путь по улице.

Дурак, не ведая сомнений в безупречности всего, что делает, решительно отказывается от сигналов и корректив окружающего мира, слеп и глух к обратной связи от людей, среди которых он живет. Если сигналы обратной связи вводятся насильно (его бьют) - он плачет, обижается и негодует. Если же (в меру своих возможностей) дурак может перекрыть этот канал жизненно важной информации, то он запрещает по правки и свирепо карает всех, кто пытается их внести.

А так как в обществе (государство - частный случай такой системы) осуществляют обратную связь чаще всего люди с разумом и пониманием, то ненормальное общество обрушивается именно на них. Вы мне, конечно, возразите, что это вовсе не глупость с точки зрения сохранности системы, но какова тогда становится там жизнь - не замечали? Любое сообщество людей - такая же система, и банально тут вдаваться в подробности. Семья, община верующих, даже просто компания - всюду опасно, если течение жизни зависит от дурака.

Кстати, услужливый дурак опаснее врага по тем же самым причинам. Враг наносит вам удары и повреждения, обиды и уроны, от которых можно защищаться, и сопротивление спасет вас или хотя бы чуть облегчит. А помощь дурака неисповедима, как его пути; его участие, опека и поддержка протекают, как стихия, и слабеющая мольба о прекращении благодетельных просто не доходит до его самозабвенного рассудка. Страшен дурак, профессионально занятый устройством чужого счастья.

А теперь давайте сделаем отступление и опровергнем сказанное ранее.

Подсознательное сравнение прогнозов делает неразумным в наших глазах как излишне розовый оптимизм, так и черную безнадежность скептика. Мы ведь просто сопоставляем свои предвидения с чужими, и свои всегда выглядят более убедительно. Так беспечное наплеватьство на очевидные грядущие неприятности заставляло братьев из сказки считать глупым их меньшого, Иванушку-дурачка. Он соглашался на худшую часть наследства, поворачивал коня туда, где надпись на камне сулила гибель, выступал там, где умный затаился бы. Но в конце концов он побеждал, богател, женился по любви и оказывался много счастливее осторожных и разумных братьев. Сказка (которая, как известно, ложь, да в ней намёк) - великолепная модель той человеческой разумности, которая всегда кажется глупостью лежащему камню, премудрому пескарю, человеку в футляре, ужу в споре с соколом и сверчку, знающему свой шесток. Стоит об этом поговорить, помня блистательное французское выражение: "Кто живет, не делая безрассудств, не так умен, как кажется".

Оценивая дерзкие и отчаянные, из ряда вон или заведомо обреченные поступки и идеи, мы снисходительно говорим: молодо-зелено, плетью обуха не перешибешь, дуракам закон не писан - и всякое прочее из бытового житейского набора. Все советы здравого разума - выживательные, охранительные, приспособительные: о молчании, осторожности, неучастии, невмешательстве, смирении, кротости и укрощении гордыни. Но вся история открытий, поворотов и свершений - это история подрыва и разрушения канонов, устоявшихся представлений и традиций, безмятежного покоя и поруки молчания, это история разрыва привычных разумных рамок. Только вы меня правильно поймите: я о бунтах и взрывах в науке и искусстве говорю, а не про всяческих революционеров. Всего две подлинно великих революции были в истории нашей планеты: ледниковое нашествие и всемирный потоп - так ничего хорошего, насколько я осведомлен, оба этих катаклизма

нашей земле не принесли. А всякие другие революции - не моя область, хотя смею думать, что всегда там в одинаковой пропорции сплетаются одержимые властолюбцы, прекраснотушныи фанатики, авантюрные мерзавцы и воспаленные слепцы. Избавь нас, Господь, от этой гремячей смеси!

Но в разные времена многие замечательные идеи, гипотезы и произведения выглядели наглым и неразумным покушением на убедительную и незыблемую привычность. С точки зрения тех, кому было уютно в устоявшейся системе мыслей и образов. Они-то и называли всякую попытку перемен - кощунством, глупостью или безумием.

Так что не упустим случая назойливо заметить еще раз: именно то, что клеймится глупостью, обеспечивает прогресс человечества. Именно глупость, доводя каноны до абсурда, подтачивает неудачное и устаревшее, и она же - руками неразумных возмутителей спокойствия - подготавливает шаг вперед. Так что прогресс человеческой цивилизации попросту немыслим без глупости.

\* \* \*

У нашей темы оказалась неожиданная грань. Ведь, как известно, глупость часто вызывает смех. Почти всегда. И нам пока не важно - веселый это смех или горький. Но что заставляет нас рассмеяться? Чувство превосходства, мгновенное подсознательное сравнение этого нелепого поступка или мнения - с нашим, безусловно лучшим вариантом на этот случай.

Такие механизмы описал некогда Зигмунд Фрейд в своей книге "Остроумие и его отношение к бессознательному".

Движения клоуна, писал Фрейд, смешат нас, ибо они нецелесообразны. Именно поэтому клоуны часто сразу после гимнастов и акробатов, жонглеров и канатоходцев повторяют их номера. Нелепость нарочитой неумелости особенно смешна после отточенной и скупой точности движений мастера. Смешна своей плохой регулировкой с обилием излишних и неверных движений.

Такое же бессознательное сравнение нашего варианта действий, нашего понимания ситуации - смешит нас при виде глупого поведения: пугает ли клоун льва, размахивая газетой со статьей о правах человека, или подбрасывает вверх башмак, забывая отойти в сторону.

Такой подход позволил Фрейдю описать одну слабость разума, часто используемую в анекдотах и веселых историях, где герой говорит слова, с очевидностью (для всех, кроме него) противоречащие друг другу. Возвращает, например, глупец одолженный им у соседа котел, а через день владелец жалуется, что получил котел обратно с дырой. На что глупец (он же хитрец, что сплошь и рядом совмещается) отвечает быстро и находчиво: во-первых, он котла вообще никогда не брал, во-вторых, котел уже был продырявлен, когда он его брал, а в-третьих, он вернул котел целым.

Глупо, да? Но оттого и смешно. Тут доведено до абсурда одно очень распространенное явление. Механизм его, правдоподобный и убедительный, предложил Фрейд в своей книге.

Три варианта ответа мгновенно (и пока неосознанно) возникли в уме героя, как только его спросили о котле. Так и работает, очевидно, наше мышление: на каких-то неведомых глубинах готовит оно несколько решений любой жизненной задачи. А затем все эти

варианты проверяются каким-то общим контролем - на логичность, правильность, целесообразность. И один из них (один! - ведь они противоречат друг другу) выдается в виде ответа...

Так может быть, одна из причин глупости - именно слабость отбора и контроля, некие прорехи в системе разумного выбора - мысли, действия, оценки?

Если все действительно так, то этот фильтр можно улучшить образованием, воспитанием, самоконтролем. И не умней тогда становится человек, но проявляет глупости гораздо меньше, в крайнем случае - не стесняется промолчать. Так я прочел где-то замечательный совет, как отличить молчаливого умного от молчащего дурака: умному молчание не в тягость. Но воспитание и образование - такая тонкая кора! И под напором чувства она то и дело уступает.

Смотрит человек на непростую живопись, перелистывает глубокую и сложную книгу, сталкивается с незнакомой ранее культурой (традициями, ритуалами, людьми), слышит и видит нечто совершенное непривычное и непонятное. И все в его душе ощетиливается, стрелка оценочного прибора мечется между словами отчетливыми: чушь, выпендрег, безумие, убожество, дикарство, бездуховность и бескультурье. А что виной непониманию - он сам, дурак, не в силах осознать, ибо между готовностью присмотреться и надменным отвержением непонятного - лежит отчетливая граница ума и глупости. Не поленюсь повторить: недостатку ума природа щедро компенсирует осудительной агрессивностью, категоричностью, апломбом и скоропалительностью суждений.

Поскольку глупость - слово бытовое, и применять его в научных разговорах неприлично, психологи ввели в обиход замечательно емкое понятие об открытости и закрытости разума.

Разум закрытый обороняется от поступающих в него новых сведений (не совпадающих с привычными), как средневековый Тибет - от иностранцев: они втекают в него и бесследно исчезают. Но реакция на них проявляется - гневная, нетерпимая, отвергающая. А люди, приносящие эти сведения, - недоумки, разносители мифов, злопыхатели, чудаки - обормоты. С точки зрения охраны душевного покоя это очень целесообразно, просто-таки разумно, ибо столкновение знаний чревато взрывом и душевным разладом, беспокойным сквозняком умственного неуютя, тяжелой необходимостью напрягаться, едкой докукой вроде уколов совести.

Открытость разума - это распахнутость его для новых сведений, как бы ни противоречили они устоявшимся привычным взглядам; это готовность к схватке и борению мыслей, к душевному дискомфорту, который неминуем при этом. У закрытого разума потребности в новых сведениях нет, ибо он твердо держится курса, который проложили ему признанные авторитеты, и вслед за ними он даже может безболезненно поменять воззрения - сказанное ими принимается безоговорочно и бездумно. Он начинает со скрипом и недоумением разворачивать свои замшелые механизмы, если стряслось нечто экстраординарное, а объяснение от почитаемых авторитетов - не поступило.

Речь идет, разумеется, о крайних проявлениях разума. Кроме того, в уютной гавани закрытости пребывает множество светлых и глубоких умов. И наоборот - возможен настуженный, обдуваемый всеми ветрами времени дурак, но на этом вихревом полюсе долго жить немислимо, и, пометавшись, он с облегчением переходит в состояние иное, где покой, безветрие и благолепие небес над душевным горизонтом. Я обрел твердую точку зрения, говорит (и чувствует) он. Только давно уже и грустно замечено, что ничто так не мешает видеть, как точка зрения.

\* \* \*

Насколько сложной и глубокой оказалась глупость, почтительно думал я, начиная благоговеть перед этим непостижимым повсеместным чудом. Одна случайная мысль отвлекла меня совсем в иную сторону.

Есть на планете нашей замечательный весенний праздник: первое апреля. День вранья. Первое апреля - это единственный день, когда люди обманывают друг друга бескорыстно. Как интересно сообщить человеку о какой-нибудь ложной неприятности (о приятности нельзя, чтоб разочарование не омрачило удовольствия) и наслаждаться, если он поверил.

Но почему он поверил? Поверил в нелепую, шитую белыми нитками неожиданную неприятность. Может быть, он глуп? Нет, очень умен и прозорлив. Но именно поэтому и поверил. Поскольку как раз умный человек всегда готов в нашем печальном мире к любой нечаянной житейской невзгоде.

Но эти мысли я отогнал. Они неразумно уводили меня из благоухающих долин чистой психологии. А я уже созвонился еще с одним человеком, грамотным в этой области.

\* \* \*

Мой собеседник и многолетний приятель Веня Пушкин (уже умер он, светлая ему память) рано стал доктором психологических наук, был широко и неназойливо образован, а среди коллег своих слыл чудачком из-за пристрастия к исследованиям, в те годы не академическим: он увлекался телепатией и ставил эксперименты, ища нервную систему у растений. В Институте психологии он заведовал лабораторией мыслительных процессов. А так как думают без исключения все (а полагать, что думаешь - уже мышление), то и вопрос о глупости здесь был весьма уместен. Однако же профессор Пушкин сильно огорчил меня.

- Глупости на свете нет и быть не может, - сухо сказал он. - Снижение умственных способностей нигде не переходит за отчетливый предел, где можно обоснованно ввести слово "дурак". Оно перетекает в патологию, такое снижение, но мы ведь ищем не болезнь, а вполне здоровую глупость, а ее нет.

- Хочешь, - сказал профессор, - я покажу это прямо на твоём примере? Ты ведь в умственном отношении, слава Богу, пока что безнадежно здоров, но сколь огромное количество людей, правомерно считающих тебя недотепой, обалдуюем, шутом гороховым, олухом царя небесного и даже просто идиотом, - не правда ли?

- Правда, это правда, - взмолился я, - давай лучше поговорим обобщенно.

- Как раз именно глупость склонна все обобщать, - неумолимо сказал профессор.

- Не обобщай, и обобщен не будешь, - добавил он, разрешая мне в виде исключения курить у него в кабинете. - Ибо глупость, - сказал он, - это всего лишь мнение одного (или группы) о разуме и поступках другого (или нескольких). Глупость - это точно такое же понятие, как юридическое понятие вины. Всегда отыщутся люди, которые готовы будут доказывать невиновность (разумность) или виновность (глупость) обсуждаемого человека. Или выявится невозможность осуждения даже при наличии вины (неизбежно было совершение глупости). Ибо сложность возникшей жизненной проблемы оказалась выше уровня умственных способностей обвиняемого. Вынужденный решать, человек в подобной ситуации совершит глупость. Но - лишь по мнению тех, кто имеет больше опыта, способен осмыслить проблему тоньше и глубже и поступить разумней. Да еще

оценка эта ставится уже с оглядкой на последствия, и не очевидно, как поступили бы сами судьи, доведись им решать мгновенно. Кстати, в таких случаях всегда правомерно (юридическое слово) обсудить разум тех, кто навязал эту проблему человеку, споткнувшемуся на ней. У Антуана де Сент-Экзюпери замечательно говорит король Маленькому Принцу: если я прикажу своему министру обернуться морской чайкой, или порхать с цветка на цветок, или написать трагедию, а он приказа не выполнит, - кто в этом будет виноват? С каждого надо спрашивать, говорит разумный король, только по его возможностям, это главное для разумной власти.

К сожалению, жизнь (или судьба) эту повесть мудрого француза не читала и постоянно вынуждает нас то порхать бабочкой, то трепыхаться морской чайкой, то сочинять невесть что безо всякой к тому склонности и подготовки - вот мы дураками и выглядим. Но не расстраивайся, кто-то из великих поэтов сказал, что дурак, признавший, что он дурак, - уже наполовину гений.

Только ведь и эта половина сомнительна. Глубокий и талантливый мыслитель, свободно блуждающий разумом по любым лабиринтам мироздания и развязывающий мертвые узлы сложнейших проблем будучи неосторожно послан женой на рынок, покупает на первом же попавшемся лотке мелкую пожухлую картошку - к снисходительной ухмылке продавца и недоуменному огорчению жены. И как бы ни был ты умен, и прозорлив, и проницателен - всегда найдется некто, кто сумеет обвести тебя вокруг пальца и переиграть на своем поле.

Так что не спеши осуждать глупость. На любом поступке властно сказываются собственная, личная прикидка соразмерности средств и цели, свой спектр интересов и предпочтений, своя система нравственных и прочих резонансов. У каждого свои соображения и доводы, своя шкала плюсов и минусов, и слово "глупость" возникает лишь от несхожести двух измерительных линеек. Сколько тому примеров!

Заметно и значительно глупеют влюбленные. Так это же их счастье! А заодно и общественное: ведь человечество должно плодиться.

Глупо лелеять надежды и питать иллюзии. Но что тогда питать и что лелеять?

Глупо, но прекрасно и сладостно хотеть невозможного - а кто держит мечтателей за умников?

Наше время уважает прагматиков и реалистов - это действительно разумная жизненная позиция. Однако же насколько тягостно и скучно (а порою - пакостно и гнусно) общаться с ними, и какими явно недалекими и плоскими выглядят они людьми. Ренуар замечательно сказал однажды: "Какая это гадость - голый разум!"

А вот категорическое утверждение, найденное мной случайно и недавно - это сказал знаменитый рабби Йехуда Бен-Йехезкель еще в третьем веке: "Тот, кто подчиняет всю свою жизнь строжайшему и буквальному исполнению заповедей, - дурак".

Глупо думать, что ты умнее, стройнее и красивее, а главное - привлекательнее других. Но откуда тогда черпать женщинам энергию и уверенность в себе?

Всем известно, что неразумно плевать против ветра. А если есть уверенность, что переплюнешь, и упрямая решимость попытаться? А если этого требует чувство чести, человеческого достоинства и просто порядочности?

А сколько глупостей мы делаем из благородных побуждений! А как умнеет прямо на глазах дурак, который нас похвалит! Глупо браться не за свое дело. А если очень хочется и кажется, что сумеешь? Вообще без этого благостного заблуждения человечество гораздо меньше продвинулось бы вперед.

А расхождение жизненных ценностей по крупному счету создает уже просто несовпадающие миры. Дон Кихот совершает поступки, глупые только в восприятии его современников и отчасти нас - читателей, похожих по приземленному разумению на Санчо Пансу. Но ведь и рыцарь печального образа невысокого мнения об уме своего растительного оруженосца. Князь Мышкин - чистый идиот в глазах окружающих, но сам он жалеет многих из них именно за неразумность. Бравый солдат Швейк безнадежно туп и наивен по мнению пьяницы фельдкурата и прочих чинов армии, но мы-то ясно видим, кто из них действительно дурак. Интересы, знания, мировоззрение, ум и характер сообща вырабатывают свои понятия о глупости, и полностью эти понятия мало у кого совпадают.

(Тут я припомнил, как мой сын писал некогда в школе сочинение по пьесе "Горе от ума" и нашел - к пугливому восхищению учительницы - точную и грустную формулировку: "Тех, кто искренне болеет душой за общество, общество искренне считает душевнобольными".)

Задним числом потомки находят много глупости в оступках и мнениях отцов и предков. Умудрённые временем и знанием последствий, потомки часто бывают правы. Но тогда это вовсе не было глупостью! А было естественным проявлением взглядов мир, на смысл существования, на границы добра и зла, на справедливость, жажда которой пожизненно гложет человеческую душу. И никак не поручиться заранее, что именно покажется разумным следующим поколениям. В жизни постоянно возникает множество чисто игровых ситуаций, а предусмотреть вер вероятности и случайности не удалось бы никакому гениальному уму. Похоже, что играет сам Творец. И насмешливая история рушит самые безупречные прогнозы. Так что не предсказать ни будущую оценку нас потомками, ни их собственные неминуемые глупости.

А разве отказавшиеся покаяться Мигуэль Сервет и Джордано Бруно не были полными глупцами во мнении людей, толпившихся вокруг их костров?

А что думали об академике Сахарове миллионы его сограждан? Многие - голову даю на отсечение - так же думают и посейчас.

Этот узел с достохвальной, вполне современной категоричностью разрубил некогда Флобер, сказавший (с иронией, по счастью), что дураки - это просто все, кто думает иначе. Поэтому, например, массовый человек склонен очень невысоко оценивать разумность людей, проходящих мимо любой выгоды. Понимая выгоду широко, биологически: благополучие и безопасность, материальный успех, всяческое утоление плоти. И он, разумеется, прав, этот человек, всю жизнь возделывающий свой сад, история ему немало обязана. Однако же она еще более обязана людям того неразумного склада, и тут было бы глупо вдаваться в подробности.

А значит, глупости нет, и каждый прав по-своему. Один - со своей колокольни, а другой - со своего шестка. И безусловно прав кулик, хвалящий свое болото. А глупость - это только лишь оценка. И тому простое вот наглядное доказательство: я взял высокую ноту, я залетел в патетику и пафос, и уже ты смотришь на меня, как на ученого придурка.

\* \* \*

Никак нельзя было сказать, что меня полностью устроили оба эти разговора. Хотя понял я из них, что дурак и человек, совершающий глупость, - вовсе не одно и то же, ибо глупость однократна, а дурак - всегда рецидивист.

Но кем считать человека, все поступки которого безупречно разумны и неизменно приносят ему пользу и столь же неизменно вызывают у окружающих отвращение и омерзение?

Итак на свете глупости не существует, а есть лишь миллион ее проявлений. Сплошь и рядом молчаливо или вслух именуют глупостью слова и действия друг друга две любые несогласные стороны. И обе - справедливо. Дурак - это не отсутствие, а свойство ума. И тогда выходит, что дурак - это просто такой ум. Более того: размер совершаемой глупости часто прямо пропорционален глубине ума, его размаху и творческой одаренности.

И ничего, ну ровно ничего не удастся сформулировать с достоверностью. Кроме одной и, право же, неглупой мысли.

Хорошо бы всем нам непрестанно стараться, чтобы ни в одной деревне дурака не допускали разводиться, гасить или поддерживать огонь. Ни в одной! А на дудочке - пусть играет.

Хотя даже при таком раскладе остальные все должны быть начеку, зорко следя, под чью дудку они пляшут.

\* \* \*

Конечно, мой усердный труд будет неполон, убог недостаточен, если для оттенения глупости, столь неловимой и спорной, не расскажу я о людях неизлечимо умных - а повсюду их великое множество.

Начну я с тех, кому когда-то я в журнале сдал статью.

Сперва мой опус похвалили, отметив, что редактировать необходимо, но немного. У каждого из прочитавших было свое собственное мнение относительно места, которого следует коснуться бдительным и чутким пером. Статья пошла от стола к столу.

А через день от стола к столу метался уже я. Более всего статья напоминала стог сена, осажденный разъяренными овцами. Каждая норовила вырвать и уничтожить тот именно клочок, который был ей понятней и ближе, отчего нуждался в скором и бесследном - исчезновении. Стог таял на глазах. Они спешили так будто боялись, что некто серый и зубастый может подойти сюда любопытствовать, поэтому все то что не исчезало сразу, тщательно приминалось и выравнивалось.

Вскоре я унес домой остатки. Было мне по недалекости моей неясно, отчего психологические выкладки настолько взволновали моих коллег. Очевидно, был у каждого из них на примете некто, могущий принять на свой счет перечень приводимых примет и обидеться со всеми последствиями. Они знали, где и кто дурак! А я, признаться, этого и до сих пор не знаю. Ибо кто глупее - тот, кто сверху громогласно и бездарно лжет, или же тот, кто снизу шумно и с восторгом аплодирует, каждым таким аплодисментом нанося себе пощечину по тонкому интеллигентному лицу?

А год спустя я накропал большую книгу о социальной психологии. Тогда эта статья пришлась впору, потому что много было в книге примеров массового отупления, оболванивания, обмана и ослепления немцев в период фашизма. Я ни о чем другом в те годы не хотел и думать, идиот, как о попытках передать другим все то, что больно понял

сам в те годы. Эта неутолимая жажда громко высказать на пользу всем свою зречность томила тогда многих доброкачественных людей.

И некто вроде главного редактора издательств, мне эту книгу заказавшего, зарезал намертво мой скудный, но усердный труд. За обилие, как тогда говорилось, неконтролируемых ассоциаций. Он даже к себе меня вызвал, оказавшись плюгавым тощим евреем (я почему-то думал, что все начальство - крупное и пышнотелое) с большими глазами, где вековая еврейская грусть совмещалась с юркой современной блудливостью. Он сказал, что не позволит мне порочить нашу светлую реальность моими гнусными аллюзиями. Я тогда уже знал, что аллюзия - это просто намек, и наивно спросил, как же он догадался, на что я намекаю, за что с позором был изгнан из кабинета. И поступил я очень мудро: пошел в редакцию и украл свою книгу. Так изыскания о свойствах ума снова оказались у меня дома.

Вскоре я забыл о своем печальном труде, занялся иными глупостями и был отправлен на пять лет в Сибирь, чтобы проветрить свою шальную голову и охладить излишний пыл. Там я встретил очень много умудренных опытом людей (и в тюрьме, и в лагере, и в ссылке), так что возвратился весьма поумневшим. Правда, жена моя этот факт категорически отрицала и нетактично смеялась, когда кто-нибудь говорил, что я сделался заметно умней (а впрочем, кажется, я это сам и говорил).

Уже повеяли по всей стране весенние ветры, и в рассуждении какого-нибудь легкого заработка отыскал я свою куцую статейку и отдал в некий сборник - составлял его мой давний знакомый, очень хороший и очень мудрый человек.

Получил я вскоре рукопись обратно с дружеской интеллигентной надписью на полях: "Дорогой Игорь! Вас Сибирь ничуть не образумила. Вы написали не статью, а девятое письмо Чаадаева". Я был польщен такой хвалой и поехал к старику объясняться.

- Мне лень по вашей рукописи черкать карандашом, - сказал человек, умудренный жизнью, - давайте поступим просто и разумно. Вы меня знаете много лет, поэтому прочитайте сами и вычеркните все, что может мне понравиться. Договорились?

И засмеялся своим мудрым опытным смехом. А я засмеялся - горьким и понимающим. Но пошёл и все повычеркивал. А за оставшиеся маленькие огрызки получил большой гонорар, ибо тогда писателям платили много именно за умолчание.

А в самый-самый разгар российской весны мы переехали жить в Израиль. Что было, как объяснили умные остающиеся, чистой и вопиющей глупостью. Потому что именно теперь, по их мнению, можно было жить, преуспевать и благоденствовать. Ибо на почве этой выше головы обложили нас за многие годы популярным российским удобрением, что ныне должно было помочь нашему росту и цветению. Но я таким соблазном пренебрег, а мудрецы, оставшиеся там действительно махрово и кудряво распустились, дай им Бог удачи и здоровья в личной жизни.

Кто именно из нас поехал за свободой быть самим собой, кто - ради безопасности детей, а кто - за сочной колбасой, совсем не важно. Поскольку оказалось все совсем иным - и свобода, и безопасность, и даже колбаса. Что тема несколько иная, хоть заметить интересно, что мечты всегда дурачат нас, а умных - в особенности.

И все-таки один вопрос меня тревожит до сих пор. Кто может мне ответить, почему нас наши жены держат за гораздо больших дураков, нежели мы есть на самом деле?

## Татьяна Толстая

### Об авторе:

**Татьяна Толстая: "Я у многих вызываю злобу"<sup>118</sup>**

Татьяна Толстая – одна из самых известных писателей русской «новой волны», внучка А. Н. Толстого, ведущая (вместе с Дуней Смирновой) ток-шоу «Школа злословия» на НТВ, - действительно у многих вызывает острую реакцию. Ранние рассказы принесли ей славу гениальной писательницы, роман «Кысь» - премию «Триумф», а «Школа злословия» - интерес, обиду и негодование многих гостей студии. Известная телеведущая, не приемлющая гламура; писательница, неохотно дающая интервью; автор язвительной социально-политической эссеистики – как такие разные образы совмещаются в одном человеке? Чтобы разобраться в этом, Юлия Идлис встретила с Татьяной Толстой, которая рассказала о себе, о нас и о «них», а также о том, чем гламур лучше гражданской войны и как сегодня составить новостную ленту завтрашнего дня.

О нас

Готовясь к интервью и копаясь в разных Интернет-материалах о вас, я первым делом обнаружила давнее интервью, которое вы дали Артемию Лебедеву в LitCafe...

Да, это было сто лет назад...

И вы там говорите, что, мол, Интернетом пользоваться не умеете и не будете.

А его и не было практически – это же 1995 год. Интернет был, в основном, англоязычный, и там мало что было. Ну, газеты; но газеты западные закрывают же, там все платное... Вот была такая газета – «Вечерний Интернет», Носик ее выпускал; она была полезная и интересная. Еще были разные проекты - в Америке, в частности – библиотека всех существующих книг на древнегреческом языке на дисках. И вот ты хочешь, например, найти какое-то слово или выражение во всем корпусе текстов, которые остались от Древней Греции, набираешь его и получаешь результат; такой Яндекс для данного культурного явления. Делал это Hewlett Packard, и у них там чуть ли не машинистки все набивали: сканнеров-то не было.

А за 10 лет произошел фантастический технический прорыв: все стало компактно и относительно дешево. И я подумала, что хорошо бы это сделать на русском языке, потому что ведь корпус русской литературы XIX и XX веков небольшой... А дальше – архивы переводить на диски, письма; ведь это все горит, теряется, заливается водой – страшные вещи происходят, не разобрано же ничего...

Ну да, вот сгорел же архив «Русского журнала», когда сгорела редакция...

И что, у них не было back-up'a?

Они говорят, что нет.

Ну глупо же, так не делают. Вот сгорела библиотека «Комсомольской правды». Мне не жалко «Комсомольскую правду» ни одной секунды, а жалко архивы – как и вообще всего, что не может быть восстановлено. Они, конечно, сделали упор на то, что журналистов

---

<sup>118</sup> <http://polit.ru/article/2006/03/26/tolstayaint/>

*уже приютили и они уже пишут материалы – лучше б не писали. От первого до последнего слова «Комсомольская правда» - на обертку селедки; а вот старые вещи – это интересно, это история. Тексты, стиснутые со всех сторон: всегда подцензурные, всегда идеологически направленные, каждый год разные – ценнейшая вещь. И они не могли даже ксерокс сделать; меня вот это наплевательство на историю поражает просто.*

*Потому что всем кажется, что надо угнаться за современностью...*

*А что в этой современности? Можно вон завтрашний день предсказать, написать новостную ленту завтрашнего дня. Любой может это сделать.*

*И что в ней будет?*

*В рамках недели если – в ней упадет крыша. Потом, сейчас таяние идет – значит, падение сосулек, случаи ранений. Какие-нибудь солдатские дела: нам об этом не сообщают, но статистика известна, и можно представить, что один случай дедовицины в день минимум будет. Волнения в каком-нибудь городе N по поводу роста цен на ЖКХ. Можно и политические крупные события предсказывать, если за этим следить: посмотреть, что было на прошлой неделе и предсказать, что будет на следующей, потому что микропроцессы видны, а когда смотришь исторические архивы, видны и макропроцессы, и можно их сопоставить. И тут интересно, когда ты уже знаешь, что наступило какое-нибудь судьбоносное событие – например, война, - а люди еще ничего не подозревают и пишут свою мелкую ерунду, «корова родила двухголового теленка», что-то такое для развлечения обывателя.*

*И такого очень много в Livejournal.com (ЖЖ). Вы говорите, что читаете его – за этим?*

*Нет, там «корова родила» не интересно. Есть просто люди хорошо пишущие, поэтому, если они забавно рассказывают про ту же корову, так это просто художественное чтение. Нет, мне интересны знаете какие вещи? – во-первых, отдельные личности, а во-вторых, освещение каких-то важных процессов. Ну, например, эти самые французские беспорядки, когда там переворачивали и жгли машины, и сейчас тоже... Интересно читать мнения об этом группы людей, которые освещают ситуацию с противоположных идеологических позиций. Ну, вот есть официальная европейская точка зрения – левацкая. А насколько она левацкая? Каковы традиции этого левачества? Насколько это серьезно? Какая в этом доля политкорректности? Все это выясняется через комментарии тех, кто по-разному относительно официальной точки зрения себя позиционирует.*

*И вот переплетение этих точек зрения и лай между людьми, стоящими на разных позициях, - это очень плодотворно и интересно. Есть, конечно, просто ругатели, которые лезут в любой разговор, чтобы покричать, пока на них весь трэд не обрушится – мол, вон отсюда, что вы связываетесь с идиотами. А есть и серьезные разговоры, где люди не ленятся подробно излагать свою точку зрения и обосновывать свою позицию. А из-за того, что это спор, они начинают вытаскивать самые разные знания и ссылаться на то, что так просто не найдешь. Газетные публикации, фотографии, статистика – они же все где-то работают, как правило.*

*То есть для вас ЖЖ – источник информации?*

*Я бы сказала – информации и аналитики. Ведь информация сама по себе мало что значит: скажем, упала крыша – это событие, информация; а почему она упала – это*

*аналитика. И почему мы не узнаем правду о том, почему она упала. Причем иногда есть какие-то катастрофические мерзавцы, но хорошо подкованные в вопросе – и их поэтому интересно читать.*

*Например, кто?*

*Ну, лучше не будем влезать в название имен, это создает нездоровое любопытство. Но вот бывает человек – во всех отношениях чудовище, но понимает в сопромате, в технических характеристиках таких строений.*

*А что вас заставляет верить посту в ЖЖ как источнику информации?*

*Нет, одному посту верить нельзя. Верить можно системе постов. Если спор затеялся и люди обсуждают какую-то проблему, то она максимально освещена со всех сторон. По сравнению с этим просто информации, которая прошла через ленту новостей, верить вообще нельзя. К тому же сейчас многие издания используют ЖЖ как источник информации...*

*А кого вы читаете в ЖЖ? У вас есть постоянный круг чтения?*

*Есть несколько ЖЖ, которые я читаю – я просто знаю этих людей и представляю, что они делают. Например, я читаю ЖЖ Максима Соколова: я с ним лично знакома и приятельствую. Он выставляет ссылки на свои статьи в «Эксперте» и «Известиях», поэтому мне удобнее начать читать с него: у «Известий» очень плохой сайт сейчас, и газета совершенно желтая стала, пока там разберешься... Поэтому удобнее прочитать все у него: там завязываются интересные споры, идешь по ссылкам, вылавливаешь каких-то новых юзеров... Еще, скажем, Норвежского Лесного я читаю, потому что это «Большой город» и он ссылки на интересные статьи дает. И потом, у него фотографии хорошие. То есть я как бы от прессы иду.*

*О себе*

*А вы ведете Живой Журнал?*

*Нет, мне совершенно не хочется в этой форме ничего человечеству сообщать. Это странная вещь вообще: нечто среднее между личной газетой и чем-то еще – дневником личным, дневником для узкого круга, дневником для любого... И вот они считают, сколько у них френдов, и страшно огорчаются, если их кто-то вычеркнул... А меня-то интересуют, в основном, споры по разным крупным проблемам, потому что как еще понять, что происходит в стране?*

*Для вас ЖЖ не площадка для публикации?*

*Абсолютно нет. Мне не были бы интересны никакие отзывы. Я представляю себе структуру этого всего, так что...*

*И какие бы они были, эти отзывы?*

*Нормальный человек не откликнулся бы, откликнулись бы люди раздраженные. Есть же форумы, на которых обсуждается, скажем, «Школа злословия»; и есть ЖЖ, в которых люди обсуждают, что прочли. Ну это же жалкий лепет, там нет людей, за которыми я бы следила, потому что мне интересно их мнение, понимаете? Ну не будет нормальный*

человек через эту форму писать что-то полноценное в ответ тебе. Как правило, все эти трэды под сообщениями – они... с одной стороны, очень многое говорят о людях, и говорят о них забавное; но ничего полноценного для автора журнала, с моей точки зрения, там нет.

Вы же только что сказали, что ЖЖ для вас – источник аналитики?

Вот противоречие, да. Нет, со стороны – интересно. Такая болтовня многое выдает о человеке. Но мне не интересно знать, что про меня думают вот на таком поверхностном уровне. Тем более что, в основном, пишут люди не заинтересованные – заинтересованные молчат, – а люди, которые ищут, на ком бы сорвать злобу. А я у большого количества людей вызываю злобу.

Как вы думаете, почему?

Не знаю. Нет, ну я представляю себе... Некоторые честно пишут, что видеть меня не могут, просто душит их мое существование, вот жить спокойно не дает. Бывает какая-то классовая ненависть: одно время Дмитрий Быков занимался тем, что два раза в год, трясясь от злобы, писал статьи, направленные против меня, Дуни Смирновой и еще одного нашего приятеля. У него в голове сложился такой образ, что он простой советский человек, и родители у него простые советские, и вот он до этой золотой молодежи никак дотянуться не может, и вот они зажрались... и пошло. Как, он себе представляет, мы живем?

Или вот на НТВ, например, есть форум, где обсуждают конкретно нашу программу. Они там стараются быть такими – как они думают – интеллигентными. Это как бы такое ханжеское мещанство, которое они принимают за интеллигентность. «Ах боже упаси сказать слово «жопа»!» И вот наиболее злобные из них считают, что мы с Дуней Смирновой не вылезаем с презентаций (то, куда мы никогда не ходим; я вообще толпу не выношу), то есть экстраполируют шоу-бизнес на всех, кого они в телевизоре видят. А другие считают, что мы целыми днями валяемся в сра и ухаживаем за собой изо всех сил. Вот что сделал этот мейнстрим и рассказы о лихой веселой жизни этого полусвета: они считают, что люди так живут.

А так никто не живет разве?

Так живет бессмысленная небольшая группа богатых людей, буржуазных дам, молодых жен попеременно с шоу-бизнесом. Они и живут такой безумной стаей. Такой низкого пошиба «свет».

О них

Вот мы и подошли к теме глянца...

Ну да, глянец работает с ними и вокруг них. Глянец – это же хорошо продуманная машина для продажи глупым богатым людям дорогих вещей. А дорогие вещи и производятся для того, чтобы их купили глупые богатые люди; даже не глупые, а просто по разным причинам озабоченные статусом. Такая буржуазия в классическом понимании, для которой статус важнее истинного существования: костюм важнее человека, внешность важнее внутренности...

*Например, в гламурных журналах нельзя работать толстым; они должны иметь хорошую фигуру, то есть своим существованием подтверждать, что мир гламура существует: вот он. А толстого человека просто нельзя показывать: его в гламуре нет. Хотя вот если бы n-ное количество богатых женщин были толстыми, гламур бы подвинулся, он бы их учел. А так существуют придуманные образы – Прокрустово ложе, ни длинней, ни короче. А остальных как бы нет.*

*Ведь глянец продает людям их же самих, нет?*

*Сначала он их создает – невротизирует. Ведь задача сперва невротизировать, пристыдить, указать, где находится тот позорный столб, к которому тебя выведут, если ты не будешь соответствовать; потом – предложить им идеальные модели всего, и наступит счастье. То есть они говорят, что тебе наступит счастье, если ты выполнишь определенные финансовые условия, по сути.*

*Ведь так работает любая сфера социальной жизни?*

*Не любая. Все эти покупки, которые гламур предлагает, ориентированы на женщин. А там, в этом мире крутизны, мужчина, достигнув определенного статусного уровня, заводит себе очень молодую жену – не потому, что он ее полюбил, а потому, что это круто – иметь такую, причем выбранную по определенному типу: они же все одинаковые. И он ее предъявляет миру и на ней держит свои бриллианты. Вот я смотрела какой-то, что ли, «Золотой граммофон»: в первых двух-трех рядах сидят «рублевцы» в смокингах, а с ними сидят эти жены, модели, любовницы – и ни одного человека. Все великолепно выглядят; все блондинки. Ну, пара уж каких-то таких жгучих брюнеток, что это не открасишь, а так – блондинки. Все с одинаковой длиной волос.*

*И все сделаны миром гламура?*

*Да, они послушались, пошли купили то, что надо, оделись там, где надо, причем в последнюю коллекцию, а иначе – позор и опускание.*

*Тюрьма какая-то получается.*

*А это тюрьма и есть. И это не про деньги, хотя деньги играют в этом очень большую роль. Вот очень богатые люди, если с ними разговаривать, в конце концов признаются: вы не понимаете, зарабатывание денег – самоцель, остановиться невозможно. Адреналин такой. И побочный продукт этой их страсти – он создает города, заводы, качает нефть, дает рабочие места... Они-то о себе думают, естественно, а не о том, как бы им города построить; и вот в этой вечной борьбе за статус и самок они и существуют, а остальное – побочная продукция. Но этот мир, чтобы существовать, должен быть чем-то обеспечен; и вот вокруг него лепятся самые разные структуры. Гламур – одна из таких структур.*

*А почему гламур не соединяется, например, с интеллектом? Ведь хотят же все придумать умный гляцевый журнал?*

*Тут есть много причин. В частности, когда гламур у нас затевался, это же все были западные бренды; там существует система и понимание идеологии этих журналов, свои стратегии. Но это стратегии, выработанные для их мира, который все-таки старше на 200 лет в смысле буржуазности; и вот оказалось, что на чужой манер хлеб русский не родится, да еще с таким перерывом, да еще с нашим народом. Когда эти журналы у нас*

начинались, их владельцы хотели сделать их более национальными, придать им больше сложности, что ли... Но все эти сложности были пресечены кураторами этих журналов – т.е. «головной фирмой».

Кто-то мне сказал, что гляцевый журнал надо продавать вместе с инструкцией по употреблению.

А потому что это не для вас. Вся идеология не для вас. А рассматривать их очень интересно: там, во-первых, картинки красивые. А во-вторых, дивисься изворотливости этой индустрии: ей же надо зарабатывать деньги, и что она еще придумает, чтобы рассказать, что тебе нужна абсолютно никому не нужная вещь за очень большие деньги. И они же подверстывают под это не существующие у нормальных людей идеологические ценности.

Ну вот, например, часы какие-нибудь, Vacheron Constantin или Patek Philip, рекламируются как? Это, мол, такие часы, мало того, что вы сами ими будете гордиться, потому что они очень точные, так еще и передадите их своему сыну. И вот, значит, сидит такой кретин-сын и ждет, пока папаша лапты склеит. Ну ни один нормальный мальчик не будет ждать, пока папаша передаст ему эти часы, а купит свои. А потом, кому нужно вот это точное время? Мол, они астрономически точные, с движениями Сириуса и фазами Луны так согласованы, что прям вот. А вам нужно, чтобы секунда в секунду что-то произошло, когда в мире ничего не происходит секунда в секунду? Кроме, может, запуска космических кораблей, да и то «на 12 минут отложили», потому что что-то отвалилось. Это же внушенные ценности: посидим попьем чайку, 15 минут, 20 – а, не пойдём туда вообще; при чем здесь швейцарская точность?

Да, но человеку, который с этими ценностями согласился, деваться некуда. И что же, они все безнадежны?

Для себя не безнадежны, просто у них есть свои горести, тревога, страх. Жена за мужа беспокоится, а если она новая жена, молодая, то беспокоится о том, что тоже станет старой, как та, что была только что выставлена. Поэтому все эти кремы, притирки, сра, - а когда видишь вот это встревоженное пустоглазое существо, которое думает, что чуть кожа провиснет – и он уйдет и унесет все эти бриллианты...

Только очень сильные личности могут ставить себе другие цели, и у них тогда mission есть. То есть им не важно, во что они одеты, какая у них жена – да провались она. Они думают о каких-то глобальных вещах: о бессмертии при жизни или, наоборот, о славе после смерти; основать университет, построить больницу, облагодетельствовать таланты – просто потому, что хочется беречь искусство, строить больницы, а не весь дом себе золотом облепить. Устраивать премии, конкурсы, музеи строить – да что угодно. Ведь наука, медицина, образование, искусство – все это страшно интересно. А у большинства из них нет интересов, которые лежат вот в этих отвлеченных областях, им достаточно «Золотого граммофона». Как подумаешь – господи, это вот так расти, перестрелять конкурентов, обманывать, лизать сапоги власти, забыть старушку-мату в деревне, выгнать жену, весь этот страшный путь на вершину – и вот тебе награда: в первом ряду смотреть, как бездарный Дима Билан вертится под свою фанеру и дрыгает своими ужасными ногами. А потом в «Бентли» и «Мерседесах» через нашу страшную неубранную Москву, со всякими, которые стоят рядом в своих ржавых «Жигуленках», - туда, в теснины Рублевки, с односторонним движением и унижительным 40-минутным ожиданием на повороте, потому что там кто-то постарше проехать должен.

*И так будет всегда?*

*Всегда. У нас просто искаженная природа гламурного мира: разбогатевший – даже не знаю кто, крестьянин, пролетарий, мещанин? – он и не знает ничего лучше. А на Западе буржуазное общество старше, оно уже переболело многими болезнями. Там есть общество и уважение по многим другим линиям: по линии человеческого достоинства, прав человека. Там есть академическая жизнь, наука и образование. И ты не будешь покупать себе диплом в переходе под Манежной площадью, а пойдешь в колледж.*

*А у нас это все очень свежее, смехотворное, и к тому же держится на ниточке, потому что ведь социальный взрыв может быть. Власть, государство до такой степени отвлеклось, до такой степени забыло, как живут люди на самом деле, что все время делает неверные телодвижения. Жадность, с одной стороны, и полное наплевательство, с другой, приводят к тому, что начинается социальный взрыв. А у нас такая страна – если рванет, так уж мало не покажется, и не хотелось бы, чтобы это произошло. Поэтому весь этот мир гламура – он вполне смехотворен, но пусть он будет; это лучше, чем гражданская война и народ с дрекольем, который будет поджигать все что ни попадя, и в первую очередь тех, кто победней, потому что у них нет каменного забора и личных самолетов. Не дай бог; поэтому пусть уж гламур будет.*

### **Татьяна Толстая** **Сомнамбула в тумане<sup>119</sup>**

Земную жизнь пройдя до середины, Денисов задумался. Задумался он о жизни, о ее смысле, о бренности своего земного, наполовину уже использованного существования, о страхах ночных, о гадах земных, о красивой Лоре и некоторых других женщинах, о том, что лето нынче сырое, о далеких странах, в существование которых ему, впрочем, не очень-то верилось.

Особенное сомнение вызывало существование Австралии. В Новую Гвинею, в ее мясистую, с писком ломающуюся зелень, в душные болота и черных крокодилов он еще готов был поверить: странное место, но пусть. Допускал он также цветные мелкие Филиппины, голубоватую пробку Антарктиды допускал, — она висела прямо над его головой, рискуя отвалиться и засыпать колотыми кубиками айсбергов. Валяясь на диване с твердыми допотопными валиками, с просевшими пружинами, покуривая, поглядывал Денисов на карту полушарий и не одобрял расположения континентов. Ну, наверху еще ничего, разумно: тут суша, тут водичка, ничего. Парочку морей бы еще в Сибирь. Африку можно бы ниже. Индия пусть. Но внизу плохо все устроено: материки сужаются и сходят на нет, острова рассыпаны без толку, впадины какие-то... А уж Австралия совсем ни к селу ни к городу: всякому ясно, что тут по логике должна быть вода, так нате вам! Денисов пускал дым в Австралию, разглядывал потолок в разводах сырости: выше этажом жил капитан дальнего плавания, белый, золотой и прекрасный, как мечта, летучий, как дым, нереальный, как синие южные моря; раз или два в год он материализовался, являлся домой, принимал ванну и заливал квартиру Денисова со всем, что в ней находилось, а в ней ничего не находилось, кроме дивана и Денисова. Ну, еще на кухне холодильник стоял. Денисов, как человек деликатный, не решался спросить: в чем дело? — тем более что не далее как на следующее утро после катаклизма великолепный капитан звонил в дверь,

---

<sup>119</sup> Рассказ опубликован в книге: Зеркала. Альманах. Вып. 1 / Сост. А.П. Лаврин. — М.: Моск. рабочий, 1989.

вручал конверт с парой сотен — на ремонт — и твердой походкой уходил прочь: в новое плавание.

Раздраженно размышлял Денисов об Австралии, рассеянно — о Лоре, невесте. Все уже было, в общем-то, решено, и не сегодня завтра он собирался стать ее четвертым мужем, не потому, что, как говорится, от нее светло, а потому, что с ней не надо света. При свете она говорила без умолку и что попало.

Очень многие женщины, говорила Лора, мечтают иметь хвост. Сам подумай: во-первых, как это красиво — толстый пушистый хвост, можно полосатый, скажем черный с белым, мне это пошло бы, и вообще, на Пушкинской я видела такую шубку, которая к такому хвосту в самый раз. Короткая, рукавчик широкий, шалевый воротник. Можно с черной юбочкой, вроде той, что Катерина Иванна сшила Рузанне, но Рузанна хочет продать, так представляешь — если бы был хвост, шубу можно вообще без воротника: обмотала шею — и тепло. Потом, если, допустим, в театр: простое открытое платье, и сверху — собственный мех. Шикарно! Во-вторых, очень удобно: в метро можно держаться хвостом за поручни, станет жарко — обмахиваться, а если кто пристанет — хвостом его по шее! Ты хочешь, чтобы у меня был хвост?.. Ну как это — все равно?

Эх, красавица, мне бы твои заботы, тосковал Денисов.

Но Денисов знал, что он и сам не подарочек — с прокуренным своим пиджаком, с тяжелыми мыслями, с ночным сердцебиением, с предрассветным страхом — умереть и быть забытым, стереться из людской памяти, бесследно рассеяться в воздухе.

До половины пройдена земная жизнь, впереди вторая половина, худшая. Вот так прошелестит Денисов по земле и уйдет, и никто-то его не помянет! Каждый день помирают Петровы и Ивановы, их простые фамилии высекают на мраморе. Почему бы и Денисову не задержаться на какой-нибудь доске, почему не украсить своим профилем Орехово-Борисово? «В этом доме проживаю я...» Вот он женится на Лоре и помрет — она же не решится обратиться туда, где это решают, увековечивать, нет ли... «Товарищи, увековечьте моего четвертого мужа, а? Ну, това-арищи...» — «Хо-хо-хо...» Ну в самом деле, кто он такой? Ничего не сочинил, не пропел, не выстрелил. Ничего нового не открыл и именем своим не назвал. Да ведь и то сказать, все уже открыто, перечислено и поименовано, все, и живое и мертвое, от тараканов до комет, от сырной плесени до спиральных рукавов заумных туманностей. Вон какой-нибудь вирус — дрянь, дешевка, от него и курица не чихнет, так нет, уже пойман, назван, усыновлен парочкой ученых немцев — смотри сегодняшнюю газету. Призадумайся — как они его делят на двоих? Небось разыскали его, завалившее такое дрянцо, в немывтом стакане и обмерли от счастья — и ну толкаться, кричать: «Мое!» — «Нет, мое!» Разбили очки, порвали подтяжки, отмутузили друг друга, запыхались, присели со стаканом на диван, обнялись: «Давай, брат, пополам!» — «Давай, что уж с тобой поделаешь...»

Люди самоутверждаются, цепляются, не хотят уходить — это так естественно! Скажем, записывают концерт. Замер зал, буйствует рояль, мелькают клавиши, словно взбесившаяся пастила, — бегом, бегом, все па одном месте, все круче; свивается сладостный смерч,

сердце не выдержит, оторвется, трепещет на последней нитке, и вдруг: кхэ. Кхе-ррр-кхм. Кху-кху-кху. Кашлянул кто-то. И хорошо так, крепенько кашлянул. И уж все теперь. Концерт с сочным гриппозным клеймом родился, размножился миллионами черных солнышек, разбежался во все мыслимые стороны. Светила погаснут, и обледенеет земля, и планета морозным комком вечно будет нестись неисповедимыми звездными путями, а кашель ловкача не сотрется, не пропадет, навеки высеченный на алмазных скрижалях бессмертной музыки, — ведь музыка бессмертна, не так ли? — ржавым гвоздем, вбитым в вечность, утвердил себя находчивый человек, масляной краской расписался на куполе, плеснул серной кислотой в божественные черты.

Н-да.

Пробовал Денисов изобретать — не изобреталось, пробовал сочинять стихи — не сочинялось, начал было труд о невозможности существования Австралии: сварил себе крепкого кофе и засел на всю ночь к столу. Работал хорошо, с подъемом, а под утро перечел — и порвал, и плакал без слез, и лег спать в носках. Вскоре после этого он и повстречал Лору, и был пригрет и выслушан и многожды утешен, как у себя в Орехово-Борисове, где на них, конечно, пролился золотым дождем капитан, опять отдраивший кингстоны, так и в ее безалаберной квартирке, где всю ночь в коридоре что-то шуршало.

— Что это, — тревожился Денисов, — не мыши ли?

— Нет, нет, спи, Денисов, это другое. Потом скажу. Спи!

Что делать, он спал, видел во сне гадости, проснувшись, обдумывал увиденное и вновь забывался, а утром пил кофе на кухне вместе с благоухающей Лорой и ее вдовым папой, отставным зоологом, кротчайшим голубоглазым старичком, немного странненьким, — а кто не странненький? Папина борода была белее соли, глаза — ясней весны; тихий, скорый на светлые слезы, любитель карамелек, изюма, булочек с вареньем, ничем не был он похож на Лору, шумную, взволнованную, всю черно-золотую. «Понимаешь, Денисов, папа у меня чудный, просто голубь мира, но у меня с ним проблемы, потом расскажу. Он такой чуткий, интеллигентный, знающий, ему бы еще работать и работать, а он на пенсии — недоброжелатели подсидели. Он так у себя в институте делал доклад о родстве птиц с рептилиями или там с крокодилами — ну ты меня понял, да? — бегают и кусают; а у них ученый секретарь был по фамилии Птицын, так он принял на свой счет. Они вообще в этой зоологии постоянного бдят и высматривают идеологическую гниль, потому что еще не решили, человек — это что, обезьяна или только так кажется. Вот папунчика и поперли, сидит теперь дома, плачет, кушает и популяризует. Он пишет эти, знаешь, заметки фенолога для журналов, в общем, ты меня понял. Про времена года, про жаб, зачем петух кукарекает и в связи с чем слон такой симпатичный. Он хорошо пишет, не шаляй-валяй, а как образованный человек плюс лирика. Я ему говорю: пуськин, ты у меня Тургенев, — он плачет. Ты, Денисов, люби его, он заслуживает».

Опустив голову, грустный, покорный, выслушивал белый папа Лорины монологи, промакивал платком уголки глаз, уходил мелкими шажками в кабинет. «Ч-ш-ш-ш, — говорила Лора шепотом, — тише... Пошел популяризовать». В кабинете тишина,

запустение, рассыхаются полки, пылятся энциклопедии, справочники, пожелтевшие журналы, пачки с оттисками чьих-то статей — все ненужное, слежавшееся, остывшее. В уголку некрополя, как одинокая могилка, папин стол, стопка бумаги, экземпляры детского журнала: папа пишет для детей, папа втискивает свои многолетние знания в неразвитые пионерские головки, папа принаравливается, садится на корточки, становится на четвереньки, — в кабинете возня, восклицания, всхлипы, треск разрываемой бумаги. Лора выметает клочки, ничего, сейчас успокоится, сейчас все получится! Сегодня у папы волк, папа борется с волком, гнет его, ломает, втискивает в подобающие рамки. Денисов рассеянно просматривает выметенное и порванное:

«Волк. Канис люпус. Пищевой рацион.

Пищевой рацион волка разнообразен.

Волк имеет разнообразный пищевой рацион: грызуны, домашний скот.

Разнообразен пищевой рацион серого: тут тебе и грызуны, и домашний скот.

До чего ж разнообразен пищевой рацион волчка — серого бочка: тут тебе и зайчики, и кудрявые овечки...»

Ничего, ничего, папуленька, радость моя, пиши; все пройдет! Все будет хорошо! Это Денисова разрушают сомнения, червивые мысли, чугунные сны. Это Денисов страдает словно от изжоги, целует Лору в темечко, уезжает к себе домой, заваливается на диван, под карту с полушариями, носками — к Огненной Земле, головой — под Филиппины, ставит пепельницу себе на грудь, окуривает холодные горы Антарктиды — ведь кто-то сидит же там сейчас, ковыряется в снежку во имя большой науки, — вот вам дымку, ребята, погрейтесь; отрицает Австралию, ошибку природы, слабо мечтает о капитане: пора бы протечь, деньги-то все прожиты, — и снова о славе, о памяти, о бессмертии...

Он видел сон. Купил он будто хлеба — как обычно, батон, круглый, бубликов десяток. И несет куда-то. В каком-то он будто бы доме. Может быть, учреждение — коридоры, лестницы. Вдруг трое — мужчина, женщина, старик, только что спокойно с ним разговаривавшие, — кто что-то объясняет, кто советы дает, как пройти, — увидели хлеб и как-то дернулись, словно бы бросились мгновенно и тут же сдержались. И женщина говорит: «Простите, это у вас хлеб?» — «Да вот купил...» — «А вы не дадите нам?..» Он смотрит и вдруг видит: да это блокадники. Они голодные. Глаза у них очень странные. И он сразу понимает: ага, они блокадники, значит, и я блокадник. Значит, есть нечего. И разом наваливается жадность. Только что хлеб этот был пустяк, ерунда, ну купил и купил — и вдруг сразу жалко стало. И он говорит: «Ну-у, я не знаю. Мне самому надо. Не знаю, не знаю». А они молчат и смотрят прямо в глаза. И женщина дрожит. Тогда он берет один бублик, тот, где мака поменьше, разламывает на части и раздает, но один кусок от этого бублика все-таки берет себе, придерживает. Руку как-то странно изгибает — наяву так не согнешь — и придерживает. Неизвестно зачем, ну просто... чтобы не все уж так-то сразу... И тут же уходит от них, от этих людей, от рук их протянутых, и вдруг он уже у

себя дома и понимает: какая же к черту блокада? Никакой блокады. Да мы же вообще в Москве живем, за семьсот километров — с чего это вдруг? Вон и холодильник полон, и сам я сыт, и за окнами люди довольные идут, улыбаются... И сразу совестно, и в сердце нехорошая тошнота, и батон этот пухлый тяготит, и девять бубликов этих как звенья распавшейся цепи, и думает он: ну вот, зря пожадничал! Что это я? Свинья какая... И кидается назад: где эти, голодные-то? А их уже нет нигде, все, проехали, милый друг, упустил, ищи-свищи, все двери заперты, время приоткрылось и захлопнулось, иди себе дальше, живи, живи, можно! Да пустите же!.. Откройте! Так все быстро, я даже ужаснуться не успел, я был не готов! Но я же был просто не готов! Он стучит в дверь, колотит ногами, пинает каблуком, дверь распахивается, там столовая, кафе какое-то, выходят спокойные едоки, утирают сытые рты, на тарелках — макароны, котлеты расковыренные... Тенью прошли те трое, заблудившиеся во времени, растворились, рассыпались, нет их, нет, не будет никогда, голое дерево качает ветвями, отражаясь в воде, низкое небо, горящая полоса заката, прощай.

Прощай! И он всплывает на своей постели, на диване, он всплыл, он скомкал простыню ногами, он ничего не понимает: что за глупость, в самом деле, зачем? И ему бы немедленно заснуть опять, и все бы прошло, и забылось к утру, и стерлось, как стираются слова на песке, на морском шумящем берегу, — так нет же, пораженный увиденным, он зачем-то встал, отправился на кухню и, бессмысленно глядя перед собой, съел бутерброд с котлетой.

А был темный июльский рассвет, самое его начало, я птицы еще не пели, и по улице никто не проходил, и для теней, привидений, суккубов и фантомов самое было подходящее времечко.

Как они сказали-то? «Дайте нам» — так, что ли? Чем больше он о них думал, тем яснее видел детали. Как живые, честное слово. Нет, хуже, чем живые. У старика, например, появилась и упорствовала, настойчиво воплощаясь, шея, густо-коричневая, морщинистая шея, темная, словно кожа копченого сига. Ворот белесой, выцветшей из синего рубахи. И пуговица костяная, наполовину обломанная. Лицо условное — старик, и все, — но шея, ворот, пуговица так и стояли перед глазами. Женщина, видоизменяясь, пульсируя так и сяк, сложилась в худую, усталую блондинку. На тетю Риту покойную чем-то похожа.

А мужчина был толстый.

Нет, нет, они вели себя некорректно. Эта женщина, как она спросила: «Это у вас что, хлеб?..» Как будто не видно! Да, хлеб! Надо было не в авоську, а в сумку или хотя бы бумагой прикрыть. И что это: «Дайте нам»? Ну что это? А если у него самого семья, дети? Может быть, у него десять человек детей? Может быть, он детям нес, откуда они знают? Неважно, что детей нет, это, в конце концов, его дело. Купил — значит, надо было. Спокойно себе шел. И вдруг: «Дайте нам»! Ничего себе заявленьице!

Что они пристали? Да, он пожалел хлеба, было у него такое движение, верно, но бублик-то он дал, а сдобный, дорогой, румяный бублик, между прочим, лучше, ценнее черного хлеба, если уж на то пошло, это во-первых; а во-вторых, он же сразу опомнился, бросился назад,

хотел все поправить, но все куда-то делось, сместилось, исказилось — что ж тут поделаешь? Честно, ясно, в полном сознании своей вины он искал их, ломился в двери, что ж поделаешь, если они не стали ждать и уплыли? Им надо было стоять и не двигаться, держаться за перила — там были перила — и спокойно дожидаться, пока он прибежит к ним на помощь. Десять секунд не могли потерпеть, тоже мне!.. Нет, не десять, не секунд, там все иначе, и место скользит, и время валится вбок рваной волной, и все это крутится, крутится; там одна секунда стоит большая, медленная, гулкая, как заброшенный храм, другая — мелкая, юркая, быстрая, — чиркнув спичкой, сжигает тысячу тысяч лет; шаг в сторону — и ты в чужой вселенной...

А мужчина этот был, пожалуй, неприятней всех. Во-первых, он был очень полный, неряшливо полный. И держался чуть в стороне, и смотрел хоть и отрешенно, но с неудовольствием. Он, кстати, не стал объяснять Денисову дорогу, он вообще не принял в разговоре никакого участия, но бублик взял. Ха, он бублик-то взял, первым сунулся! Он даже старика рукой толкнул! А сам толще всех! И рука у него такая белая, будто детская, с перетяжкой, и веснушки мелким пшеном по руке, и нос крючком, и голова яйцом, и очки! Вообще противный тип, и непонятно даже, что он там делал, в этой компании! Он явно был не с ними, он просто подбежал и присуседился, увидел, что раздают, — ну и... Женщина эта, тетя Рита... Кажется, она была самая голодная из троих... Ну что ж, я ведь дал ей бублик! Да это просто роскошь в их положении — такой свежий, румяный кусина... О боже, в каком положении?! Перед кем я оправдываюсь? Не было их, не было! Ни здесь, ни там, нигде! Смутное, бегучее ночное видение, струение воды по стеклу, мгновенная спазма в глубоком тупике мозга, лопнул ничтожный, ненужный сосудик, булькнул гормон, екнуло в мозжечке, в каком-нибудь турецком седле — как они там называются, эти нехоженые закоулки?.. Нехоженые закоулки, мощеная мостовая, мертвые дома, ночь, качается фонарь, метнулась тень — летучая ли мышь, ночная птица, или просто упал осенний лист? Вдруг все трепещет, отсыревает, плывет и вновь останавливается — пронесся и исчез короткий холодный дождь.

Где я был?

Тетя Рита. Станных спутников подобрала она к себе в компанию, тетя Рита! Если это, конечно, она.

Нет, не она. Нет. Тетя Рита была молодая. У нее была другая прическа: надо лбом валик, волосы светлые, прозрачные. Она вертелась перед зеркалом, примеряла кушак и пела. А еще что? Да ничего больше! Просто пела!

Замуж, должно быть, собиралась.

А потом она исчезла, и мать велела Денисову никогда больше о ней не спрашивать. Забыть. Денисов послушался и забыл. А пудреницу, которая от нее осталась, стеклянную, с фукалкой, с синей шелковой кистью, он променял во дворе на перочинный ножик, и мать побила его и плакала ночью — он слышал. И тридцать пять лет прошло. Зачем же его мучить?..

При чем тут блокада, хотел бы я знать? Блокада к тому времени давно уж кончилась. Начитаешься на ночь всякого...

А интересно: кто эти люди? Старик какого-то колхозно-рыбацкого вида. Как он туда попал?.. А толстяк этот — он что, тоже мертвый? Ох как он, должно быть, не хотел умирать, такие умирать боятся. Визгу, наверно, было! А дети кричали: папа, папа!.. За что он умер?

Товарищи, но почему же ко мне? При чем тут я? Я, что ли, убивал? Это не мои сны, я ни при чем, я-то не виноват! Прочь, товарищи! Пожалуйста, прочь!

Господи, как тошно от себя самого!..

Лучше он будет думать о Лоре. Красивая женщина. И что в ней хорошо, так это то, что сна, по всем признакам сильно любя Денисова, совершенно ему не докучает, не требует непрерывного внимания, не покушается на его образ жизни и вообще гуляет сама по себе, шатаясь по театрам, подпольным вернисажам, саунам, пока Денисов, напряженно мысля, чахнет на своем диване и доискивается путей к бессмертию. Какие у нее еще там проблемы с папой? Папа хороший, смиренный, папа что надо, папа при деле. Сидит в своем кабинетике, ни во что не вмешивается, грызет шоколадку, статейки сочиняет впрок на зиму: «Любит весной хозяин полакомиться многокостянковыми и покрытосеменными... А как задует сиверко, как распотешится лихое ненастье — резко замедляется общий метаболизм у топыгина, снижается тонус желудочно-кишечного тракта при сопутствующем нарастании липидной прослойки. Да не страшен минусовый диапазон Михайло Иванычу: хоть куда волосяной покров да и эпидермис знатный...» О, вот бы так, медведем, забиться в нору, зарыться в снега, зажмуриться, оглохнуть, уйти в сон, пройти мертвым городом вдоль крепостной стены, от ворот до ворот, по мощеной мостовой, считая окна, сбиваясь со счета: это не горит, и это не горит, и вон то, и то никогда не зажжется, — только совы, и луна, и остывшая пыль, и скрип двери на ржавых петлях... ну куда они все подевались? Тетя Рита, вот хороший домик, маленькие окна, лестница на второй этаж, цветы на подоконнике, фартук и метла, свеча, кушак и круглое зеркало, живи здесь! Выглядывай по утрам из окошка: старик в синей рубахе сидит на лавочке, отдыхает от долгой жизни, веснушчатый толстяк несет зелень с базара, улыбнется, помашет рукой, а там точильщик точит ножницы, а там выбивают ковры... А вон Лорин папа едет на велосипеде, крутит педали, собаки бегут за ним вслед, путаются под колесами.

«Лора! Тошно мне, мысли давят, Лора, приезжай, расскажи что-нибудь! Лора? Алло!»

Но Лора не в силах добраться до Орехово-Борисова. Лора сегодня страшно устала, прости, Денисов. Лора ездила к Рузанне, у Рузанны что-то с ногой, кошмарный ужас. Она показывала врачу, но врач ничего не понимает — ну, как всегда, — а вот есть такая Виктория Кирилловна, так она посмотрела и сразу сказала: с вами, Рузанночка, сделано. А когда делают, то всегда на ноги. И можно даже узнать, кто эту порчу напустил, но это, сказала Виктория, вопрос второстепенный, потому что в Москве тысячи ведьм, а сейчас главное — попробовать снять, и прежде всего нужно окурить квартиру луковым пером,

все углы, так что мы ходили и окуривали, а потом Виктория Кирилловна просмотрела все цветы в горшках и сказала: эти ничего, можно, но вот этот — вы что, с ума сошли, дома держать? — немедленно выкинуть. Она купила себе третью шубу, пришла на работу и сразу почувствовала, что атмосфера напряженная; это элементарная зависть, и даже непонятно, к чему такие низменные чувства; ведь в конце-то концов, говорит Рузанна, шубу она, если хотите, покупает как бы не себе, а другим, для повышения эстетического уровня пейзажа. Ведь ей, Рузанне, изнутри шубы все равно ничего не видно, а им всем, которые снаружи, становится интереснее и разнообразнее на душе. И причем бесплатно. Ведь чуть какая-нибудь художественная выставка, «Мону Лизу» привезут или там Глазунова, они же по пять часов давятся в очереди щаж и еще свой кровный рубль платят. А тут Рузанна заплатила свои деньги, и пожалуйста — искусство с доставкой на дом! — так они же еще и недовольны. Просто мракобесие какое-то. И Виктория Кирилловна сказала: да, это мракобесие — и велела Рузанне лечь на кровать головой на восток. А Рузанна показала ей фотографию дачи, которая у них с Арменом на Черном море, чтобы Виктория сказала, все ли там в порядке, и Виктория внимательно посмотрела и говорит: нет, не все. Дом тяжелый. Очень тяжелый дом. И Рузанна расстроилась, потому что столько в эту дачу средств вколочено, неужели все перестраивать? Но Виктория ее успокоила, она сказала, что она выкроит время, придет к ним на дачу вместе с мужем — он тоже обладает какими-то удивительными способностями, — поживет там и посмотрит, чем можно помочь. Она спросила Рузанну, близко ли от них пляж и рынок, потому что это источники отрицательной энергии. Оказалось, совсем рядом, так что Рузанна еще больше расстроилась и просила Викторию помочь безотлагательно, просто умоляла немедленно вылететь на Кавказ и по возможности эти источники экранировать. И Виктория, золотая душа, берет с собой фотографию Рузанниной ноги, чтобы там, на юге, ее лечить.

А Лоре она сказала, что у нее энергетический пучок совершенно расфокусирован, позвоночный канал засорен, и точка Инь искрит беспрерывно, и что это может плохо кончиться. Потому что мы живем у телебашни и наши с папой поля дико искривлены. А про папин случай — с папой у меня проблемы — она сказала: это за пределами ее компетенции, но вот сейчас в Москве с визитом какой-то совершенно замечательный гуру, имя не произнести, Пафнутий, допустим, Эпаминондович, он излечивает верующих в него плевками. Совершенно необразованный, чудный старикан, борода до колен и глаза такие пронзительные-пронзительные. Не верит в кровообращение и многих уже убедил, что его нет; даже одна врачиха из ведомственной поликлиники, большая его поклонница, совершенно убеждена, что, в сущности, он прав; никакого кровообращения нет, учит Пафнутий, а только одна кажимость, а вот соки есть, это да. И ежели в человеке соки застоялись — это болезнь, свернулись — увечье, а если совсем, к чертовой бабушке, высохли, то тут ему, родимому, и кондрашка. А лечит Пафнутий не всех, а только тех, кто верит в его учение, и требует смирения: надо упасть к нему в ножки и попросить: «Подсоби ты мне, дедушка, червю малому и убогому», — и ежели хорошо попросишь, то он плюнет в тебя, и, говорят, сразу легче, сразу будто озарение и душевный подъем. Курс лечения — две недели, причем не курить, и чаю нельзя, и даже молока ни боже мой, а пить только сырую воду через нос. Ну, конечно, всякие академики бесятся, ты же понимаешь, у них вся научная работа летит, и аспиранты на сторону смотрят, но тронуть его не могут, потому что он вылечил какое-то начальство. И, говорят, приезжали из Швейцарии, фирма эта — как ее, «Сандоз», или как ее? — в общем, брали у него слюну на анализ, они же без химии ни шагу, бездуховность такая, ужас, — так вот, результаты засекречены, но якобы нашли в дедовой слюне левомицетин, олететрин и какой-то фактор пси. И они у себя в Базеле строят два завода для промышленного выпуска этого фактора, а этот журналист, Пострелов, ну ты знаешь, знаменитый, так он пишет сейчас очень острую статью в том смысле, что не допустим ведомственной волокиты и разбазаривания отечественной

слюны, а не то опять придется покупать собственное достояние на валюту. Да, это все точно, а я вот вчера стояла в магазине «Наташа» за перуанскими бобочками, ничего, только воротничок грубый, и разговорилась с одной женщиной, она знает этого Пафнутия и может к нему устроить, пока он в Москве, а то он потом опять уедет к себе в Бодайбо. Ты меня слушаешь?.. Алло!

Глупая женщина, она тоже бредет наугад, вытянув руки, обшаривая выступы и расселины, спотыкаясь в тумане, она вздрагивает и ежится во сне, она тянется к блуждающим огням, ловит неловкими пальчиками отражения свечей, хватается за тенью дыма; она склоняет голову на плечо, слушает шуршание ветра и пыли, растерянно улыбается, озирается — где оно, то, что сейчас промелькнуло?

Булькнуло, екнуло, порскнуло, ахнуло — лучше гляди! — сзади, наверху, вниз головой, пропало, нету!

Океан пуст, океан штормит, с ревом ходят горы черной воды в свадебных венцах кипучей пены; далеко, просторно бежать водяным горам — нет преграды, нет предела штормовому кипению; Денисов отменил Австралию, вырвал с хрустом, как коренной зуб: уперся одной ногой в Африку — кончик отломился, уперся покрепче — хорошо; другой ногой в Антарктиду — скалы колются, в ботинок набился снежок, встать поустойчивее; ухватил покрепче ошибочный континент, пошатал туда-сюда — крепко сидела Австралия в морском гнезде, пальцы скользили в подводной тине, кораллы царапали костяшки. А ну-ка! Еще раз... эпа! Вырвал, вспотел, держал обеими руками, утерся локтем; с корня у нее капало, с крышки сыпался песок — пустыня какая-то. Бока холодные и скользкие —росло порядочно. Ну и куда ее теперь? В северное полушарие? А там место есть? Денисов стоял с Австралией в руках, солнце светило ему в затылок, вечерело, далеко было видно. Зачесалась рука под ковбойкой — э, да на ней мураши какие-то! Кусаются!.. Черт... Он плюхнул тяжелую кокорыжину назад — брызги, — булькнула, накренилась, затонула. Эх... Не так он хотел... Но ведь укусил же кто-то! Он присел на корточки, разочарованно поболтал рукой в мутной воде. Ну и черт с ней. Ладно. Население там было неинтересное. Бывшие каторжники. И вообще он хотел как лучше. Вот только тетю Риту жалко... Денисов повернулся на диване, уронив пепельницу, укусил подушку, завыл.

Глубокой ночью он взлелеял мысль о том, что хорошо бы стать во главе какого-нибудь небольшого, но чистого движения. Скажем, за честность. Против воровства, допустим. Очиститься самому и позвать за собой других. Для начала вернуть все зачитанные книги. Не заигрывать спички и авторучки. Не красть туалетную бумагу в учреждениях и междугородных поездах. Потом больше, больше — и, глядишь, потянутся люди. И пресекать зло, где бы ни встретил. Глядишь — и помянут тебя добрым словом.

На другой же вечер, стоя в очереди за мясом, Денисов заметил, что продавец жулит, и решил немедленно крикнуть слово и дело. Он громко оповестил граждан о своих наблюдениях и предложил всем, кто взвесил свои куски и направился платить, вернуться к прилавку и потребовать перевеса и пересчета. Вон же и контрольные весы стоят. И доколе, о соотечественники, будем мы терпеть кривду и уроны? И доколе звери алчные, пиявицы ненасытные будут попирают наш трудовой пот и насмехаться над голубиной нашей

кротостью? Вот вы, дедуль, перевесьте свою грудинку. Клянусь честью, там одной бумаги на двугривенный.

Очередь забеспокоилась. Но старик, к которому воззвал праведный глас Денисова, сразу обрадовался, сказал, что такую контру, как Денисов, он рубал на южных и юго-восточных фронтах, что он боролся с Деникиным, что он как участник ВОВ получает к праздникам свой шмат икры, и ветчину утюжком производства Федеративной Республики Югославии, и даже две пачки дрожжей, что свидетельствует о безоговорочном доверии к нему, участнику ВОВ, со стороны государства в том плане, что он не употребит дрожжи во зло и самогон гнать не будет; сказал, что теперь он в ответ на доверие государства каленым железом выжигает половую распущенность в ихнем кооперативе «Черный лебедь» и не позволит всяким гадам в японских куртках бунтовать против нашего советского мясника, что правильно сориентированный человек должен понимать, что нехватка мяса объясняется тем, что кое-кто завел дорогих, недоступных простому народу собак и те все мясо поели; а что если масла нет — значит, и войны не будет, потому что все деньги с масла пошли на оборону, а кто носит тапки «адидаас», тот нашу родину предаст. Сказав, старик отошел, довольный.

Несколько человек, прослушав стариковы речи, посерьезнели, и бдительно осмотрели одежду и ноги Денисова, но большинство охотно зашумели, дали взвесить мясо и, убедившись, что разнообразно обсчитаны, радостно возмутились и, счастливые своей правотой, толпой двинулись в подвал, к директору. Денисов вел массы, и уже словно заколыхались в воздухе хоругви, и всходило невидимое солнце Девятого января, и в задних рядах будто даже запели, но тут вдруг директорская дверь распахнулась, и из тусклого закута с полными сумками в руках — женскими, стегаными, в цветочек — выплыл знаменитый красавец актер Рыкушин, буквально на этой неделе мужественно хмурившийся и многозначительно куривший в лицо каждому с телеэкрана. Бунт немедленно распался, узнавание было радостным, хотя и не взаимным, женщины взяли Рыкушина в кольцо, тут же сиял кучерявый директор, произошло братание, кое-кто прослезился, незнакомые люди обнимали друг друга, одна полная женщина, которой было плохо видно, влезла на бочонок с сельдью и отцицеронила такую горячую речь, что было тут же решено направить коллективную благодарность в торг, а Рыкушина просить взять творческое шефство над двести тридцать восьмью ясельками с ежегодным появлением в виде Деда Мороза. Рыкушин кудрявил блокнот, вырывал листки с автографами, пускал по волнам голов; сверлу, из торгового зала, валили новые поклонники, под руки вели ослепшую от волнения четырежды орденоносную учительницу, а пионеры и школьники со свистом съезжали вниз по шатким перилам, шлепаясь в капустные отвалы, Денисов что-то сипел о правде, его не слушали. Он рискнул, присел на корточки, отогнул край рыкушинской сумки, ковырнул бумагу. Там были языки. Так вот кто их ест! Он снизу, с корточек, заглянул в холодные глаза гурмана, и тот ответил взглядом: да. Вот так. Положь на место. Народ за меня.

Денисов признал его правоту, извинился и выбрался вон против течения.

Вид безмятежно существующей Австралии вызвал у него ярость. Вот тебе! Он дернул карту и вырвал пятую часть света вместе с Новой Зеландией. Заодно и Филиппины треснули.

Ночью сочилось с потолка. Капитан приехал. Деньги будут. Вот написать повесть о капитане. Кто он да откуда. Где плавает. Почему капает. А почему он действительно капает? Без воды не может?

А может быть, у него труба проржавела.

Или он пьян.

Или он приходит в ванную, кладет голову на край умывальника и плачет, плачет, как Денисов, плачет, оплакивает свою бессмысленную жизнь, морскую пустоту, обманчивую красоту лиловых островов, людские пороки, женскую глупость, оплакивает утонувших, погибших, забытых, преданных, ненужных; слезы текут по замызганному ручной фаянсу, льются на пол, вот уже поднялись до щиколоток, вот дошли до колена, рябь, круги, ветер, шторм. Разве не сказано: сердце мудрых — в доме плача, сердце глупых — в доме веселья?

Тетя Рита, где ты? В каких пространствах бродит твой легкий дух, знаком ли тебе покой? Носишься ли ты бледным ветерком над лугами мертвых, где мальвы и асфодели, воешь ли зимней бурей, протискиваясь в щели теплых человеческих жилищ, поешь ли в звуках рояля, рождаясь и умирая вместе с музыкой? Может быть, скулишь бездомной собакой, торопливым ежом перебегаешь ночную дорогу, безглазым червем свернулась под сырým камнем? Видно, плохо тебе там, где ты теперь, иначе зачем проникать в наши сны, протягивать руку, просить подаяния — хлеба или, может быть, просто памяти? И кого это ты взяла к себе в компанию, ты, такая красивая, со светлыми волосами, с цветным кушаком? Или те дороги, по которым вам бежать, так опасны, леса, где вам ночевать, так холодны и пустынно, что вы сбиваетесь в шайки, жметесь друг к другу, держитесь за руки, пролетая ночью над нашими освещенными домами?..

Неужели и мне через короткий неведомый срок тоже предстоит вот так скитаться, скулить, стучаться: вспомни, вспомни!.. Предрассветный стук копыт по булыжной мостовой, глухой удар яблока в облетевшем саду, всплеск волны в осеннем море — кто-то просится, царапается, хочет вернуться, но ворота закрыты, и замки заржавели, и выброшен ключ, и умер сторож, и никто не пришел назад.

Никто, слышите, никто не пришел назад! Слышите?! Я сейчас закричу!!! Аааааааааааа!  
Никто! Никто! И всех нас несет туда, толкает в спину неодолимая сила, ноги скользят по осыпающемуся склону, руки цепляются за кустики травы, дайте же хоть опомниться, передохнуть! Что останется от нас? Что останется от нас? Не трогайте меня! Лора! Лора!  
Да Лора же!!!

...И вот она возникла из тьмы, из сырого тумана, возникла и двинулась ему навстречу не торопясь — топ-перетоп, шаг-перешаг — в каких-то разнузданных золотых сапожках, в наглых, раскоряченных, развратно коротких сапожках; худые, сирые щиколотки ее поскрипывали, покачиваясь в золотой коже, выше свивался и шелестел пышный плащ в

черном бисере ночного тумана, бряцали и лязгали пряжки, еще выше двигалась улыбка — и уличные огни лунной радугой вспыхивали на розовых зубах, над улыбкой нависли тяжелые очи, и все это шевеление, весь этот риск и блеск, торжество и безобразие, весь клубящийся живой омут был прилеплен сверху трагической мужской шляпой. Господи боже, царю небесный, вот с ней и предстоит делить ему ложе, стол и мечты. Какие мечты? Неважно. Всякие. Красивая женщина, болтливая женщина, в головке — мусор, но красивая женщина!

— Ну, здравствуй, Денисов, сто лет не виделись!

— Что это за онучи на тебе, прелестница? — недовольно спросил Денисов, целуемый Лорюю.

Она удивилась и посмотрела на свои сапоги, на их мертвые золотые обшлага, вывернутые, как бледная плоть поганок. То есть как это?! Что это с ним? Да она их уже целый год носит, он что, забыл? Другое дело, что пора уже новые покупать, но ей совершенно сейчас не до того, потому что, пока он там себе отшельничал, с ней случилось кошмарное несчастье: дело в том, что она в кои-то веки выбралась в театр, она хотела хоть немного отдохнуть от папы и пожить, как все люди, а папу она отправила на дачу и попросила Зою Трофимовну за ним присмотреть, Зоя Трофимовна больше трех дней выдержать не смогла, да и никто бы не смог, ну это к слову, — так вот, пока она прохлаждалась в подвальном театрике — очень модном, очень труднодоступном театрике, где все-то оформление — рогожа да канцелярские кнопки, где с потолка каплет, но дух светел, где дует по ногам, но как войдешь, так тебе сразу и катарсис, где такое горение и святые слезы, что просто держите меня; так вот, пока она там валандалась и хлопала ушами, их квартиру обчистили злоумышленники. Все вынесли, буквально все: и подсвечники, и лифчики, и подписного Мольера, и филимоновскую ядовито-розовую игрушку в форме мужика с книгой — подарок одного писателя-деревенщика, прирожденный гений, не печатают, а он пешком пришел из глубинки, ночует по добрым людям и принципиально не моется, принципиально, потому что знает Главную Правду и ненавидит кафель лютой ненавистью, просто багровеет, если видит где-нибудь кафель или метлахскую плитку, у него и цикл поэм есть антикафельный — могучие, бревенчатой силы строки, там все что-то гой! гой еси! и про гусли-самогуды, что-то очень глубинное, — так вот, и подарок его пропал, и шуршащий вьетнамский занавес сняли, а что не могли вынести, то сдвинули с места или повалили. Ну что за люди, просто я не знаю! Она, естественно, заявила в милицию, но толку от этого, конечно, никакого не будет, потому что у них там такие страшные стенды — дети, пропавшие без вести, женщины, по многу лет их не могут найти, так неужели они тут же бросятся прочесывать Москву в поисках каких-то там лифчиков? Хорошо еще, что папины рукописи не выбросили, только распушили. Так что вот, всем этим она страшно расстроена, а еще она расстроена тем, что была на вечере встречи с бывшими одноклассниками, пятнадцать лет окончания школы, и все изменились так, что просто не узнать, просто кошмар какой-то, чужие люди, но главное не это, а главное то, что у них были такие Маков и Сысоев, сидели на задней парте и плевались жеваной бумагой, приносили в школу воробьев и вообще были не разлей водой; так вот, Маков погиб в горах — там и остался, и уже четыре года назад, и никто не знал, подумать только, просто герой, больше ничего, а Сысоев стал такой сытый и довольный, приехал на черной машине с шофером и велел шоферу ждать, и тот действительно весь вечер проспал в машине, а когда ребята узнали, что Сысоев такой важный и главный, а Маков лежит где-то в расщелине под снегом и не может прийти, а эта свинья поленился пройтись пешочком и

прикатил на казенной машине, чтобы всем тыкать этой машиной в глаза, — вышла небольшая драчка и заваруха, и вместо теплых объятий и светлых воспоминаний устроили Сысоеву бойкот, как будто не о чем больше было поговорить! И как будто он виноват, что Маков полез в эти горы! И все просто озверели, так грустно все это, а один мальчик — конечно, он уже лысый совсем, Пищальский Коля, — наковырял из салата крабов, и счистил их со своей тарелки прямо на лицо Сысоеву, и кричал: ты ешь, ты привычный, а мы люди простые! И все думали, что Сысоев его за это убьет, а он ничего, он очень смущался и хотел общаться, а все отворачивались, и он ходил такой растерянный и всем предлагал, кто хочет, противотуманные фары. И потом он ушел как-то боком, и девочки стали его жалеть и кричать: вы не люди! что он вам сделал? И так все и разошлись, злые и злобные, и ничего из вечера не вышло. Вот так вот, Денисов, а ты что молчишь, я по тебе соскучилась, пошли к нам, правда, там здорово разворовано, но я уже привела все в более или менее божеский вид.

Скрипели золотые Лорнны сапоги, шуршал плащ, сияли глаза из-под шляпы, брови пахли розами и дождем... а дома, в прокуренной комнате, под мокнущим потолком, прищемленная сдвинутыми пластами времени, бьется тетя Рита со товарищи; она погибла, и порвался кушак, и рассыпалась пудра, и сгнили светлые волосы; она ничего не сделала за свою короткую жизнь, только спела перед зеркалом, и вот теперь, мертвая, старая, голодная, испуганная, мечется в государстве снов, попрошайничает: вспомни!.. Денисов крепче ухватил Лорин локоть, повернул к ее дому, разгоняя туман: не надо им расставаться, быть им всегда вместе, под одной фигурной скобкой, неразрывно, неразъемно, нерасторжимо, слитно, как Хорь и Калиныч, Лейла и Меджнун, «Дымок» и спички.

Чашки были украдены, так что пили из стаканов. Белоснежный папа, уютный, как сибирский кот, ел пончики, зажмурив от счастья глаза. Вот и мы тоже, как те трое —; старик, женщина, мужчина, думал Денисов, мы тоже сбились вместе, высоко над городом, посмотреть сторонним взглядом — что нас объединяет? Маленькая семья, мы нужны друг другу, слабые и запутавшиеся, ограбленные судьбой, — он без работы, она без головы, я без будущего. Так сбиться же тесней, держаться за руки, один споткнется — двое поддержат, есть пончики, никуда не стремиться, запереться от людей, жить, не поднимая головы, не ожидая главы... в положенный срок закрыть глаза поплотней, подвязать челюсть, скрестить на груди руки... и благополучно раствориться в небытие? Нет, нет, ни за что!

— Занавески все вынесли, подлые, — вздыхала Лора. — Ну зачем им мои занавески?

Туман улегся, а может быть, он и не поднимался до шестнадцатого этажа, этот легкий летний туман, — в оголенные окна смотрела чистая чернота, драгоценные огни далеких жилищ, и только на горизонте, в лакированной японской тьме вспухал оранжевый полукруг встающей луны, словно проступила вершина горы, освещенная фруктовым утренним светом. Где-то там, в горах, вечным сном спит Маков, Лорин одноклассник, поднявшийся выше всех людей и оставшийся там навсегда.

Светлеет розовая вершина, скалы пылят снегом. Маков лежит, вглядываясь в небосвод; холодный и прекрасный, чистый и свободный, он не истлеет, он не состарится, не

заплачет, никого не уничтожит, ни в чем не разочаруется. Он бессмертен. Может ли быть судьба завиднее?

— Послушай, — сказал Лоре пораженный Денисов, — но если ваши дундуки ничего про этого Макова не знали, то, может быть, его сослуживцы?.. Музей там какой-нибудь организовали бы или что-то такое? И почему бы вашей школе не носить имя Макова, ведь он же ее прославил?

Лора удивилась: какой там музей, господь с тобой, Денисов, где ж музей-то? Он учился через пень колоду, бросил институт, потом армия, то-се, а в последние годы вообще работал кочегаром, потому что любил книжки читать. Семья с ним намучилась, ужас, это я знаю от Нинки Зайцевой, потому что ее свекровь с маковской маманей вместе работают. А школа имени Макова никак быть не может, потому что уже носит имя А. Колбасявичюса. С которым, между прочим, тоже все не так просто, потому что, видишь ли, было два брата-близнеца Колбасявичюсы, один убит лесными братьями в сорок шестом году, а второй сам был лесным братом и умер, объевшись поганками. А поскольку инициалы у них были одинаковые, а по внешности родная мать не могла их различить, то возникает крайне двусмысленная ситуация: можно было бы считать, что школа — имени брата-героя, но в свое время местные следопыты выдвинули версию, что брат-герой проник в лесное логово и там был коварно погублен бандитами, распознавшими подмену и окормившими его ядовитым супчиком, а брат-бандит осознал свое заблуждение и честно пошел сдаваться, но по ошибке был застрелен. Ты понял, Денисов? Один из них точно герой, но кто именно — не установлено. Наша директриса просто с ума сходила, она даже подала петицию, чтобы школу переименовали. Но все равно о Макове даже речи идти не может, он же не сталевар, верно?

Вот она, людская память, людская благодарность, подумал Денисов, и почувствовал себя виноватым. Кто я? Никто. Кто Маков? Забытый герой. Может быть, судьба, обувшись в золотые сапожки, подсказывает мне: прекрати метаться, Денисов, вот твое дело в жизни, Денисов! Извлеки из небытия, спаси от забвения погибшего юношу; над тобой посмеются — стерпи, будут гнать — держись, унизят — пострадай за идею. Не предавай забытых, забытые стучатся в наши сны, вымаливают подаяния, воют ночами.

Когда Денисов уже засыпал в обворованной квартире высоко над Москвой, а рядом засыпала Лора и темные волосы ее пахли розой, поднялась голубая луна, легли глубокие тени, скрипнуло в глубине квартиры, прошуршало в прихожей, стукнуло за дверь и что-то мягко, мерно, медленно — скок! скок! — двинулось по коридору, доскало до кухни, пискнуло дверь, повернулось и — скок! скок! скок! — направилось в обратный путь,

— Эй, Лора, что это такое?

— Спи, Денисов, ничего. Потом.

— Как это потом? Ты слышишь, что делается?

— О боже мой, — зашептала Лора, — ну это папа, папа! Я же тебе говорю, что у меня проблемы с папой! Он сомнамбула, он ходит во сне! Ну я же тебе говорила, что выперли с работы, и у него сразу же это началось! Что я могу поделать? Я у лучших врачей была! Тенгиз Георгиевич сказал: побегаешь и перестанет. А Анна Ефимовна сказала: что вы хотите, это возрастное. А Иван Кузьмич сказал: чертей не ловит — и слава тебе, Господи! А через Рузанну я вышла на одного экстрасенса из Министерства тяжелой промышленности, так после сеанса стало только хуже: он голый бегаешь. Спи, Денисов, мы все равно ничем не поможем.

Но какой уж тут мог быть сон, тем более что зоолог, судя по звукам, снова доскакал до кухни, и там что-то рухнуло со звоном.

— Ой, я с ума сойду, — заволновалась Лора, — он последние стаканы побьет.

Денисов натянул штаны, Лора бросилась к отцу, раздались крики.

— Ну что он делает! Господи, он мои сапоги надел! Папа, я тебе тыщу раз говорила... Папа, да проснись же ты!

— Теплокровные, ха-ха! — рыдая, кричал старичок. — Они называют себя теплокровными! Простейшие, и больше ничего! Уберите свои псевдоподии!

— Денисов, да хватай же ты его сбоку! Папочка, папочка, успокойся! Валерьянки сейчас... За руки, за руки держи!

— Пустите меня! Вон они! Я их вижу! — рвался сомнамбула, и сила у него откуда-то бралась немыслимая, На голое тело зимними, шерстяными вещами казались усы и борода.

— Да папочка же!

— Василий Васильевич!

Ночь летела над миром, далеко во тьме кипел океан, растерянные австралийцы озирались, огорченные исчезновением своего континента, капитан заливал горячими слезами прокуренную берлогу Денисова, кушал холодное из кастрюли проголодавшийся от славы Рыкушин, Рузанна спала головой на восток, Маков спал головой в никуда — каждый занят был своим делом, и кого могло взволновать, что посреди города, в вышине, в перламутровом свете луны мечутся, борются, топчутся, кричат и страдают живые люди — Лора в прозрачной сорочке, лицезреть которую не отказались бы и цари, зоолог в золотых сапогах и Денисов, истерзанный видениями и сомнениями?

...Дачная местность была чудесной — дубы, дубы, а под дубами лужайки, а на лужайках в красноватом вечернем свете играли в волейбол, — гулко чвакал мяч, медленный ветер проводил по дубам, и дубы медленно отвечали ветру. И маковская дача тоже была чудесная — старая, серая, с башенками. А среди клумб под сырой вечерней черемухой сидели за круглым столом, пили чай с малиной и смеялись четыре сестры, мать, отчим и тетка Макова; тетка держала на руках младенца, тот помахивал пластмассовым попугаем, в сторонке умилялась безвредная собака, и даже какая-то птица пешочком, не торопясь шла по дорожке по своим делам, не потрудившись хотя бы из вежливости всполошиться при виде Денисова и броситься куда попало. Он был немного разочарован идиллией. Конечно, напрасно было бы ожидать, что дом и сад убраны траурными флагами, и что ходят на цыпочках, и что черная от горя мать лежит пластом на постели и не сводит глаз с сыновнего ледоруба, и что время от времени то один, то другая выхватывают скомканный платок, чтобы вцепиться в него зубами и удушенно зарыдать, — но все-таки чего-то печального он ждал. А они забыли, они все забыли! А он-то тоже хорош: с букетом, будто поздравить... Они обернулись и с недоумением, с испуганными улыбками смотрели на Денисова, на вязанку бархатцев в его руке, багровых, как закат перед ненастьем, как запекшиеся кровяные корочки, как мemento мори. Младенец, самый чуткий, еще не забывший той страшной тьмы, откуда недавно был вызван, сразу догадался, кем послан Денисов, закричал, забился, хотел предупредить, но слов не знал.

Нет, ничего печального не было видно, печальным было разве то, что Макова здесь не было: не играл он в волейбол под медленными дубами, не пил чай под черемухой, не гонял поздних комаров. Денисов, твердо решившийся пострадать во имя покойного, преодолел неловкость, вручил цветы, поправил траурный галстук, подсел к столу, объяснился. Он — посланец забытых. Такова его миссия. Он хочет знать об их сыне все. Может быть, напишет его биографию. Музей, а если нельзя, то хотя бы уголок в музее организует. Стенды. Детские вещи. Чем увлекался. Может быть, собирал бабочек, жуков. Чай? Да-да, с сахаром, спасибо, две ложки. С гляциологами надо будет связаться. Возможно, восхождение Макова чем-то важно для науки. Увековечение памяти. Ежегодные Маковские чтения. Помечтаем: пик Макова почему бы нет? Фонд Макова с добровольными пожертвованиями. Да мало ли!..

Сестры повздыхали, отчим курил, скучливо подняв седые брови, а мать, тетка и младенец заплакали, но то бы грибной дождь — любые слезы высыхали здесь, среди малины, дубов и черемухи, — и медленный ветер, прилетев с далеких цветущих полей, подсказывал: брось. Все хорошо. Все спокойно. Брось... Мать придавила платком нос, чтобы не дать слезам ходу. Да, печально, печально... Но все прошло, слава богу, прошло, забылось, утекло водой, зацвело желтыми кувшинками! Жизнь, знаете ли, идет! Вот Жанночкин первенец. Это наш Василек. Василек, ну-ка, где у бабы нос? Пра-авильно. Агу-гу-леньки! Ату-тусеньки! Вера, он мокрый. Вот наш сад. Клумбы, видите? Ну, что же еще... Вон там гамак. Удобно, да? А это Ирочка наша, она замуж выходит. Хлопот, знаете! Все молодым устрой, все им подай!

Ирочка была премиленькая — молодая, загорелая. Комары ужинали на ее голой спине. Денисов засмотрелся на Ирочку. Ветерок покачивал черные ягоды черемухи.

— Пойдемте, сад посмотрим. Как у меня помидоры хорошо взялись. — Маковская мать отвела Денисова в глубь сада и зашептала: — Девочки Сашу очень любили. Ирочка особенно. Ну что же делать. Я вижу, вы с душой, помочь хотите. У нас просьба к вам... Она замуж выходит, мы мебель им достаем... И знаете, она шкаф «Сильвия» хочет. Сбились с ног. Ведь молодые, что ж... Им жить хочется. Если бы Саша был жив, он был всю Москву перевернул... В память Саши... для Ирочки... «Сильвию», а? Молодой человек?..

«Сильвию» покойнику! — крикнули незримые силы. Вечная память!

— «Сильвия»... «Сильвия» шкаф... Как бы Саша радовался... Как бы радовался... Ну, еще чайку давайте.

И они пили чай с малиной, и дубы никуда не спешили, и Маков лежал в высоте, в алмазном блеске, скалясь в небо нестареющими зубами.

Долг есть долг. Хорошо, пусть это будет шкаф. Почему нет? От Макова останется шкаф. От тети Риты — стеклянная пудреница. Пудреницу я променял. Ничего не осталось. Загробная темь. Выжженная степь. Мерзлая наледь. Грибная сырость подвала. Железный запах крови. Шестая часть света, вырванная с мясом. Нет! Ничего не хочу знать! Я ничем не мог помочь, я был маленький! Я помогаю только Макову, за всех, за всех, за всех! И когда крупные вежливые санитары уводили рыдающего капитана и он цеплялся за притолоки, за почтовые ящики, за шахту лифта, расставлял ноги, подгибал колени, визжал, а потом из его квартиры вынесли и отдали пионерам на макулатуру сотни бумажных корабликов, а я и все соседи стояли и смотрели — я тоже ничем не мог помочь, я помогаю только Макову!

Ничего не хочу знать! Шкаф, только шкаф! Шкаф, буфет, мебельный гарнитур с бронзовыми вставками — золотой волосок, не толще! — с блестящими уголками, с деликатной резьбой, с мелким блеском стекольных шашек. Нежные ямки резьбы — мягко, легко так, будто заяц пробежал, — чудесный, чудесный кусок жилья!

Будто заяц пробежал в коридоре. Лорин папа. Дзнь! — разбил что-то. Пудреницу. Нет, стакан. Они пьют чай с малиной из стаканов. Маков смотрит в небо: достаньте шкаф во имя мое! Согласен. Я постараюсь. Я готов пострадать. Я пострадаю — и Маков отпустит меня. И капитан отпустит. И тетя Рита. И ее товарищи опустят невыносимые глаза.

Лора ровно дышит во сне, волосы ее пахнут розами, в коридоре шуршит зоолог, двери заперты — куда убежишь? — пусть побегает, — выдохнется, устанет, лучше будет спать. «Я знал, но забыл, я знал, но забыл, я знал, но забыл», — бормочет он, и глаза его закрыты, и ноги легки. Взад-вперед, взад-вперед, по лунным квадратам, мимо книжных полок, от входной двери до кухонной. Взад-вперед, может быть, надел Лорину шляпку или босоножки, может быть, повязал шею газовым шарфиком или украсил голову дуршлагом, он любит ночные безделушки; взад-вперед, от двери до двери, мягкими прыжками, высоко

поднимая колени, вытянув руки вперед, словно ловит что-то, но ни разу еще не поймал, — веселая охота, безобидные жмурки, никакого вреда. «Я знал, но забыл!»

Утром пришел красный рассвет, растворилась гора с черной букашкой Макова на вершине, усталый лунатик сладко уснул, запели дегенеративные городские птицы, и две голубые слезы скатились из денисовских глаз в денисовские уши.

В поисках «Сильвии» Денисов толкался в самые разные двери, но везде нарывался на отказы. Вы что? Импорт сокращен! А уж «Сильвия» тем более! Ишь!.. Да ее и генерал не достанет! Разве маршал, да и то смотря какой! Какого рода войск! Нет, товарищ Петрюков вам не поможет. И Козлов не поможет. И к Люлько не обращайтесь — бесполезно. А вот товарищ Бахтияров... Товарищ Бахтияров может сделать, помочь, но человек он прихотливый и своеобразный, характер у него кудрявый и непредсказуемый, и как этого Бахтиярова взять за жабры — одному дьяволу известно. Но, безусловно, ловить его надо не в кабинете, а где-нибудь в «Лесной сказке», когда товарищ кушает и расслабляется. Можно и в баньке, и в баньке-то лучше всего, и это старинный способ — подгадать момент, когда красавица сбросит лебединые перья и оросит себя, так сказать, родниковыми струями, — тут-то ее, голубушку, и цопнуть, перья — в загашник, а от самой просить, чего душа пожелает. Но Бахтияров на красавицу не тянет, увидите сами, и перья его, и штаны, и чемодан с бельем и всякими закусками и заедками до того надежно охраняются, и банька до того непростая, и так она ловко поворачивается к лесу передом, к людям задом, что проникнуть в нее без петушиного слова не могли и думать. Так что попробуйте все-таки в загородном поищите, в «Сказке». Ну что делать, попробуйте! Он там отдыхает.

И была «Сказка».

Фу ты, до чего там было тепло, до чего нарядно, а как славно пахло! Сейчас бы Лору сюда, да денег побольше, да вон в тот угол под желтым абажуром, где салфетки кульком, где мягкие кресла! Покой измученной, полубезумной душе!

Шли официанты, и Денисов спросил самого сладкого и ласкового: нет ли тут, часом, товарища Бахтиярова? — и тот сейчас же полюбил Денисова, как родного брата, и мизинчиком указал и направил: вон там товарищ отдыхают. В кругу друзей и прекрасных дам.

Теперь туда — будь что будет, — туда, — не за себя прошу, — туда, где куполом клубится синий дым, где порывами ветра гуляет хохоток, где шампанское пенистым крюком выскакивает на скатерть, где тяжелые женские спины, где кто-то в сиреновом галстучке, щуплый, собачистый, быстро вертится вокруг Хозяина, непрерывно его обожая. Шагнуть — и он шагнул, и пересек черту, и стал посланцем забытых, безымянных, реющих в снах, занесенных снегом, белой костью торчащих из степной колеи.

А товарищ-то Бахтияров оказался человеком круглым, мягким, кнтайцеобразным, даже каким-то славненьким с-виду, и сколько ему было лет — шестьдесят или двести, —

сказать было нельзя. Видел он человека насквозь, все видел — и печенку, и селезенку, и сердчишко, да только ие нужна была ему ваша печенка-селезенка — черт ли в ней, — вот и не смотрел он на вас, чтобы не прострелить насквозь, и разговоры завивал куда-то вбок и мимо. Ел товарищ Бахтияров телятину нежности прямо-таки возмутительной, преступно юного ел поросеночка, и зелень была — три минуты как с грядки — столь невинная, еще и не опом «пилась, росла себе и росла, вдруг хоп! — и сорвали, и крикнуть-то не успела, а уж ее едят.

— Люблю молодежь кушать, — сказал Бахтияров. — вам, зайчик, нельзя: язва у вас, по лицу вижу. — И точно, угадал: у Денисова была старинная язва. — А вот я вас с пользой попотчую, — сказал Бахтияров. — За мое ли здоровьечко, за мое ль за разлюбезное.

И по его щелчку подали тушеную морковь и воду «Буратино».

— Думаю я, думаю, — говорил он между тем, — день и ноченьку все думаю, а ответа не придумаю. Вот вы человек, видать, ученый — глазки у вас эвон какие невеселенькие, ну-ка подскажите. Отчего пивной завод — имени Стеньки Разина? Ведь это ж, голуби мои, государственное учреждение, план-переплан, отчетность, соцсоревнование, партком, — держите меня, — местко-ом! Местком! Шутка ли? И тут же какой-то разбойник. Нет, не понимаю. По-моему, смешно. Смейтесь!

Дамы опять открыли рты и захохотали.

— Ка-ак у тещи в чем-модане береженный шевион... он не тлеет, он не прет, не ржавеет, не гниет, — вдруг запел Сиреневый, поводя плечами и притопывая.

— Вот как мы тут славно шуткуем, — говорил довольный Бахтияров, — светлым детским смехом смеемся да посмеиваемся, и все в рамках дозволенного, все в границках допустимого... И все-то у нас ладушки, а у вас ко мне просьбишка, а вот-ка мы ее слушаем...

— Собственно, дело очень простое, то есть очень сложное, — сосредоточился Денисов. — То есть, видите ли, я как бы прошу не для себя, лично мне ничего не нужно...

— Клен ты мой опавший, кто ж для себя просит, для себя нынче никто не просит... Нынче только плюнь — набегут проверяльчики, подхватят под белы ручки, — туда ли плюнул, да где слюну брал, да на каком таком основании, — а мы что, мы ничего, чистенькие... А можно, я вас буду звать цыпа-ляля? Ты мороз, мороз! — запел товарищ Бахтияров. — Пойте, голуби!..

— Не морозь меня!.. — завели за столом.

— Как у тещи в чемодане, — поперек хора пробовал сиреневый, но его заглушили. Пели хорошо.

— У Клавдюхи-то сопрано — не фу-фу, — говорил Бахтияров. — Наша Зыкина! Мария, так сказать, Каллас, а то и покрепче! Ты тоже пой, цыпа-ляля.

«Что ж, предупреждали, — думал Денисов, мерно разевая рот. — Предупреждали, и я готовился, ведь не для себя же, и ничто просто так не дается, не пострадав — не добьешься, просто я не предполагал, что страдать до такой степени неприятно».

— Не повалявши, не поешь, — подтвердил товарищ Бахтияров, глянув Денисову в самое сердце, — а ты как думал, родненька моя? Тебе какой артикул-то? Шка-а-аф?.. Ишь мы какие шалуны... А ты спел бы нам лично, а? Вот так, попросту, для души? Выдай нам свое потребительское соло, чтоб душа играла! Слушаем, голуби мои! Тишина! Уважаем!

Денисов торопливо спел, страдая под взглядом бахтияровских гостей, спел, что подвернулось, что поется во дворах, в походах, в электричках, — городской романс о Шаровой Леночке, поверившей в любовь, и обманутой, и надумавшей погубить плод легкомысленного своего заблуждения, «Да ямку вырыла, да камень тиснула, а Зина-девочка разочек пискнула!» Пел, уже понимая, что он в пустыне, что людей здесь нет, пел о приговоре, вынесенном бессердечными судьями: «А расстрелять ее! Да расстрелять ее!» — о печальном и несправедливом конце заблудшей: «Я подхожу к тюрьме, она раскрытая, Шарова Леночка лежит убитая», — и Бахтияров сочувственно кивал мягкой головой. Нет, Бахтияров-то был еще ничего, совсем ничего, на лице его даже просматривались какие-то уютные, симпатичные уголки, а если сощуриться, то можно было на минуточку поверить, что вот — дедушка, старенький, любит внучат... но только если, конечно, сощуриться. Другие были много хуже; вот эта, например, очень плохая женщина, похожая на лыжу, — перед ее весь заткан парчой, а спина совершенно голая; или та, другая, красавица с глазами кладбищенского сторожа; но страшнее всех вон тот вертлявый хохотун, развинченный петрушка, и галстучек его сиреневый, и жабий рот, и шерсть на голове, кто бы изничтожил его, извел, прижег, что ли, всего зеленкой, чтобы не смел смотреть!., А впрочем, все они ужасны лишь постольку, поскольку празднуют мое унижение, крестные мои муки, а так — граждане как граждане. Ничего. «Шарова Леночка лежит убитая!»

— Как хорошо-то, пончики мои! — удивился Бахтияров. — Как товарищ хорошо спел-то! Просто пьяииссимо, да и только. Да и весь тут сказ. А ну-ка и мы грянем. В ответ! Покажем гостю бемоль!

Гости грянули; сиреневый вертун — сама предупредительность — дирижировал вилкой, у красавицы из мертвых глаз струились слезы; едоки из-за соседних столов, утеревшись салфетками, присоединялись к хору, пронзительной, струнной нотой вступало Клавдюхино сопрано:

Ах, мама, ты, милая мама, Зачем ты так рано ушлаааааааааа, Сынишку воришкой оставила, Отца-подлеца не нашла!!!

Там, в горах, повалил снег, все гуще и гуще, наметая сугробы, засыпая Макова, раскинутые его ноги, обращенное к вечности лицо. Он не тлеет, он не преет, не ржавеет, не гниет!.. Сугробы поднимались все выше, выше, гора захрустела под тяжестью снега, загудела, лопнула, с паровозным грохотом сошла лавина, и на вершине ничего не осталось. Снежный дымок покурился и осел на скалы.

— Не друзья ли мы с тобой, посетитель дорогой! — кричал Бахтияров, хватая Денисова за щеки. — Во! Стихами говорю! Не чужд! А?! Я такой! Испей «Буратинца» за моё здоровьечко! До дна, до дна! Вот так! А знаешь, вот что: уважь старого друга! Гулять так гулять! Полезай под стол! Для смеха! Поше-ел!

— Вы что? — сказал Денисов, свободный от Макова. — Вы что, дядя? Гуд бай вам, и шкаф мне ваш не нужен. Я передумал. — И он стал вставать.

— Под стол! Ничего не знаю! Что такое?! — рвал пиджак Бахтияров. — Просим! Господа!..

— Про-сим! Про-сим! — топали дамы, друзья, гости, официанты, откуда-то взявшиеся повара, и весь зал, поднявшись на ноги, выходя из-за столов, дожевывая, скандировал и хлопал в ладоши: — Просим!

Нет же, нет, нет! Почему?! Я человек, звучу гордо, не полезу, хоть убейте!.. Ну а пострадать? Эй, вспомни! Пострадать-то! Ты же хотел.

Он дико затосковал, как перед смертью, ослабел душой, нахмурился — не помогло, хотел вздохнуть — нечем уж было и вздохнуть. А Бахтияров уже откинул скатерть и боком сел, чтобы ноги не мешали, и приглашал рукой: прошу! пожалуйста!..

...Он скрючился в полотняной штопаной полутьме, поджав колени, как зародыш, тупо глядел на женские ноги, на серебряные хвосты и лакированные копытца; коварное брашно туманило слух и взор; сопрано давило голову; вот что я сделаю. Я знаю. Я поставлю памятник забытым. Пусть это будет плоское место в степи, без ограды, без знака, пусть растет там ковыль или камыш, пусть солнце выжжет землю, чтобы выступила соль, пусть валяется там щебень или битое стекло, пусть вечерами воеет шакал или пирует разудалая компания. Привет вам, консервные банки, и вам, пивные пробки, слава плевкам, ура раздавленным помидорам. Холм мусора или соляная проплешина, шорох ковыля или свист ветра — все хорошо, все безразлично, ничто не страшно забытым, — ведь с ними уже ничего больше не может случиться.

Под стол свесилось зареванное безглазое женское лицо, забормотало, ища сочувствия:

— Почему, ну почему одним все широе, леркое, бротистое, а другим только плявое и мяклое, ну почему?

Сердце мудрых — в доме плача.

«Буратино» сморило Денисова, и он уснул.

Лунный луч, пробившись сквозь штопку, кольнул в глаз. Лунная скатерть лежала на паркете, серебряный сад стоял за окном, август чиркал звездами во тьме. Словно все снега со всех гор осыпались на сад, на тишину, на немые тропинки. Денисов скрипнул половицей, постоял у окна. Никого он не видел сегодня во сне.

Петух пропел. Бахтияров и ведьмаки его сгнули, тени спят, в мире покой.

Да и что за глупость — мучиться воспоминаниями ни о чем, выпрашивать у мертвеца прощения за то, в чем, по людскому счету, ты не повинен, ловить горстями туман? И никакого нет пятого измерения, и никто не подводит баланс твоих грехов и побед, и нет в конце пути ни кары, ни награды, да и пути нет, и слава — дым, и душа — пар, и если ты полез под стол, то уж прости, дорогой, но это твой выбор и твой личный вкус, и благодарное человечество не повалит толпами за тобой, и незримые силы не крикнут из предвечной лазури: «Хорошо, Денисов! Давай! Жми в таком духе! Всецело одобряем и поддерживаем!»

Он обошел всю «Сказку», дергая двери, все было заперто. Н-да, комиссия! Сиди теперь до утра. Окно, что ли, вышибить? Тут небось сигнализация. Поселок маленький, все на виду — засвистят, замигают, выедут опергруппы: не в саду, так на шоссе поймают как миленького. В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянье голубом, а Денисов будет метаться между кустами и будками, приседать за мусорные баки, шуршать в боярышнике, заслоняться от прожекторов. Ни к чему. Валом тьмы окружен мир, бесплотный лунный сахар пересыпается с листа на лист, дрожа и мерцая: сахар, снег, сон, глушь, все застыло, все умирает, тупея в бессмысленной красоте, все забыто, все прощено, да ничего и не было, да и не будет ничего.

А вот телефон. Лоре позвонить. Умер сам — научи товарища.

Голос у Лоры был насморочный:

— Ой, Денисов, бери такси, приезжай. У меня тут кошмарное горе. Что значит заперли? В какой сказке? Ты что, с ума сошел? Денисов, у меня такое горе, проблема с папой, я его повезла за город, к одной старухе, ты не знаешь, баба Лиза, она знахарка и вообще

женщина чудная. Мне Рузанна ее рекомендовала, чтобы папу отчитывать; ну как отчитывают? — сажают под иконы на табуретку, свечу ставят, воск в таз капает, баба Лиза молитвы читает, энергетика очень улучшается; ну это все на несколько сеансов рассчитано; так ты представляешь, пока я отлучилась в сельмаг, там у них выбор хороший, мужские рубашки голландские, я для тебя хотела, ну вот, их уже разобрали, а я засмотрелась на товары для пайщиков, я не знаю, какие пайщики, что-то такое потребсоюз или что. В общем, для сдатчиков гриба чаги там мокасины мужские, белые, австрийские, это то, что тебе нужно, еще там джинсы на мясо и фломастеры на морковь, это нам не надо, а мокасины очень хорошо; я говорю девушкам: девушки, чаги у меня нет, может быть, так дадите? А одна, симпатичная такая, говорит: подождите заведующую, может быть, договоритесь; я ждала-ждала, а уже темно, никого, они говорят: она вряд ли подойдет, к ней друг из Североморска должен был подъехать, ну я пошла назад, а баба Лиза в жуткой панике: говорит, он сидел-сидел и уснул, а когда уснул, ты же знаешь, какой он становится; он уснул, вскочил, дверь распахнул и бежать, а на улице-то темно, а местность совершенно незнакомая, так и убежал. Я не знаю, что делать, Денисов, я в милицию, а они зубы скалят. В общем, я сейчас дома, в полной прострации, ведь у папы денег ни копейки, ведь он очнется где-нибудь в лесу, он заблудится, он замерзнет, он умрет, он же не знает, куда я его завезла, ведь он пропадет. Денисов, что я наделала!

...Значит, он убежал, вырвался и убежал! Он знал, он все время знал дорогу! Встрепенулись забытые, тени подняли головы, прозрачные призраки насторожились, прислушались: он бежит, его отпустили, встречайте, выходите в дозор, машите флажками, зажигайте сигнальные огни! Сомнамбула бежит по бездорожью, смежив вежды, вытянув руки, с тихой улыбкой, словно видит то, что не видят зрячие, словно знает то, что они забыли, ловит ночью то, что потеряно днем. Он бежит по росистой траве, по лунным пятнам и черным теням, по грибам и подорожникам, по бледным ночным колокольчикам, по маленьким лягушатам. Он взбегает на холмы, он сбегает с холмов, чист и светел под светлой луной, вереск хлещет его легкие ноги, ночь дует в спящее лицо, белые волосы развеваются по ветру, расступается лес, расцветает клен, разгорается свет. Неужели он не добежит до света?

1988

## Политическая корректность

«Президент принял делегацию чучмек» — невозможный заголовок в газете. «Выдающееся бабье в русской культуре» — немислимое название для книги. Это всем понятно: в первом случае задеваются лица некоторых национальностей (расистское высказывание), во втором — лица женского пола (высказывание сексистское). Понятно, что напечатать или публично произнести подобное было бы оскорбительным хамством, хотя непонятно почему: ни в слове «чучмек», ни в слове «баба» вроде бы не слышится ничего специфически оскорбительного, но так уж исторически сложилось. Обидно.

Слово «чурка» еще обиднее, чем «чучмек»: предполагает тупость, дубовые мозги (я вот умный, а они все тупые). «Косоглазый» — оскорбление: предполагает отклонение от некоторой нормы. То же «черномазый» — имплицитное утверждение, что белое лучше черного; а почему это, собственно? Однако если вы скажете: «эбеновая кожа» или «миндалевидные глаза», то отмеченные наружные признаки прозвучат как комплимент, ибо в рамках нашей культуры эбеновое и миндальное деревья имеют положительные коннотации (в отличие от дуба).

Недоказуемые утверждения, что белая раса выше черной или желтой, что женщины хуже мужчин, звучали слишком часто в истории человечества, а, как всем известно, от слов люди всегда переходили к делу и угнетали тех, кого считали хуже и ниже. Прозрев и раскаявшись в этом варварском поведении, цивилизованная часть человечества

восприняла идеи равенства и братства и как может воплощает их в жизнь. И старается исправить не только дела, но и слова, ибо слово это и есть дело. И слово проще исправить. Выразаться и мыслить надо политически корректно.

Так ловлю себя за руку: одну политическую некорректность в этом тексте я уже допустила: употребила слово «братство». Вот к чему приводит многовековое угнетение со стороны патриархата! Жалкая, слепая жертва фаллоцентризма, неспособная сбросить с себя путы мужского свинского шовинизма (*male pig chauvinism*), я кооперируюсь с угнетателями, сотрудничаю с агрессорами! Я переметнулась на сторону врага. Я должна была употребить слово «сестринство», невзирая на то, что его нет в русском языке. А теперь пусть будет. Ведь язык – тоже средство угнетения, потому-то этого слова в нем и нет. Язык слишком долго был орудием мужчин, в нем отразилась их многовековая власть над женщинами, это они не допустили слово «сестринство» в словарь. Доказательств сколько угодно. Человечество по-английски *mankind*, почему не *womankind*? То-то. Да ведь и само слово *woman* – производное от слова *man*, и с этим можно и нужно бороться. Например, принять написание *womyn* (во множественном числе *wimyn*), чтобы хотя бы на письме сбросить с себя унижительные путы родовой зависимости. Или слова «семинар», «семинарий», которые происходят от слова *semen*, «семя» – вопиющий фаллоцентризм. Введем слова «оварий», или – вариант – «овуляр», обозначать они будут то же, зато явятся женским вкладом в культуру. (По-русски – яйцарий. «Научный яйцарий по проблемам освоения космоса»? Глупо, но корректно.)

Засилье политически корректного языка и соответственно выражаемых этим языком политически корректных мыслей и понятий захлестнуло современную американскую культуру. (Вышеприведенные примеры – *womyn*, *ovarium* – не продукт моего натужного остроумия, как может подумать не знакомый с американскими реалиями читатель, а взяты из существующих текстов: ими предложено пользоваться, и некоторые уже пользуются.) Идеология политической корректности требует, чтобы любое публичное высказывание и публичное (а в ряде случаев и частное) поведение соответствовало неким нормам, в идеале, выражающим и отражающим равенство всего и вся. Во многом эти требования исходят со стороны агрессивного феминизма, но не только. Есть расовая политическая корректность (*political correctness* или, сокращенно, РС – «пи-си»), экологическая, поведенческая, ценностная, какая угодно. Упрощая (но не слишком), можно сказать, что она базируется на следующем современном мифе: белые мужчины много веков правили миром, угнетая меньшинства, небелые расы, женщин, животных, растения. Белый мужчина навязал всему остальному миру свои ценности, правила, нормы. Мы должны пересмотреть эти нормы и восстановить попорченную справедливость.

Мысль, не лишённая наблюдательности, конечно, и всякий может привести массу примеров, ее подтверждающих. Нерешенным, правда, остается вопрос, отчего же так произошло – по природе вещей или по зловредности и в результате заговора? Свойственна ли мужчине агрессивность от рождения или навязана ему культурой свинского самцового шовинизма? Сволочь ли самец павлина с его роскошным хвостом, в то время как его самка выглядит так неприятно? Кроме шуток: можно ведь утверждать, что самцы павлинов на протяжении вековой эволюции заклевали и истребили тех самок, у которых было чем похвастаться в смысле оперения, оставив для размножения лишь чахлах и бледных дурнушек, дабы надмеваться над ними, держать их в подчинении и постоянно указывать им своим внешним видом, кто тут, собственно, начальник. То же и куры. Докажите, что это не так. В обратном же случае, когда самки красивее самцов, результат тоже может свидетельствовать о злом эгоизме направленности мужского отбора: молодых и симпатичных они выбирали, а старых и уродливых отбраковывали (ср.: люди). Куда ни кинь, всюду клин (желающих всюду прозревать фрейдистские аллюзии просят порадоваться этой плохо завуалированной фаллоцентрической поговорке). Можно утверждать, что мужчина всегда морально дурен – агрессивные феминисты (-ки) это постоянно и делают. Например: нашей современной культуре навязана идея так

называемой «красоты», то есть представление о том, что люди неравны в отношении внешней притягательности. Это грех «смотризма» (lookism). Феминистка Наоми Вульф (сама молодая и красивая) разоблачила негодяев: она открыла, что идея «красоты» возникла с развитием буржуазного, индустриального общества, где-то в XVIII веке. Женщинам внушили, что красота – это ценно, что красиво то-то и то-то, наварили кучу косметики и всяких притирок и через рекламу вкомпостировали все это в мозги. Женщины попались на удочку, отвлеклись от борьбы за свои права и по уши ушли в пудру и помаду, а тем временем мужчины захватили рабочие места и успели на них хорошо укрепиться. Когда одуроченная женщина кончила выщипывать брови и спохватилась – глядь, все уже занято. Просвистела, бедняжка, свои исторические шансы. (В частности, из этого следует, что настоящая феминистка не должна ничего себе ни брить, ни выщипывать, а настоящий феминист должен принимать ее как она есть и «полюбить ее черненькую».)

Примеры «смотризма» в русской литературе:

Для вас, души моей царицы,  
Красавицы, для вас одних...

(Автор-мужчина прямо сообщает, что его текст не предназначается для уродок, старух, меньшинств, инвалидов; доступ к тексту – выборочный; это недемократично.)

Как завизжу черноокою –  
Все товары разложу!

(Это еще хуже: это называется preferential treatment, то есть предпочтение, предпочтительное обслуживание; хорошо, если не сегрегация! Он не хочет обслуживать категории населения, не соответствующие его понятию о красоте, хотя в его коробушке «есть и ситец и парча»; в результате нечерноокие потребители не смогут осуществить свое право на покупку. Дальше в тексте, кстати, открыто описывается обмен товаров на сексуальные услуги: «только знает ночь глубокая, как поладили они». Нужны ли более яркие иллюстрации свинско-самцового шовинизма?)

Ты постой, постой, красавица моя,  
Дай мне наглядеться, радость, на тебя!

(В данном случае, как говорится, все каше наружу: автор-мужчина останавливает красавицу, понятно, с тем чтобы быстро забежать вперед и занять вакантное рабочее место. Ее же уделом будет безработица или низкооплачиваемая профессия.)

К греху «смотризма» тесно примыкает и грех «возрастизма» (ageism). Это когда неправильно считается, что молодость лучше старости.

Примеры «возрастизма»:

Старость – не радость.

(Просто лживое утверждение, окостенелый стереотип.)

На что нам юность дана?

Светла как солнце она...

Это еще слабая степень оскорбления, ведь можно оспорить утверждение, что солнце лучше, скажем, луны и что тем самым здесь выражено возрастное предпочтение. Тем более что врачи сообщают: солнце вредно, излишнее пребывание в повышенной зоне ультрафиолетового излучения вызывает предрак кожи. А вот хуже:

Коммунизм – это молодость мира.

И его возводить молодым.

Здесь прямо, внаглую содержится требование отстранить от рабочих мест лиц среднего и старшего возраста. За такие стишки можно и в суд. Называть старика стариком обидно. Старики в Америке сейчас называются senior citizens (старшие граждане), mature persons (зрелые личности); старость – golden years (золотые годы).

И наконец, совсем возмутительные стихи, наводнившие всю Россию:

Под насыпью, во рву некошенном.  
Лежит и смотрит, как живая,  
В цветном платке, на косы брошенном.  
Красивая и молодая.

Здесь и смотризм, и разнузданный возрастизм, и любование поверженностью лица женского пола, и выдавание тайно желаемого за действительное: он представляет ее мертвой, так как мужчины ненавидят женщин и желают им смерти, что опять-таки символически выражается в сексуальном акте, который всегда есть насилие, порабощение и в конечном счете уничтожение. Не пропустите ключевые слова: автор символически помещает ее в ров, то есть в яму, могилу, а сверху еще примысливает насыпь, т. е. слой земли. Убил, в землю закопал, и надпись написал: вот что он сделал. Упоминаются косы, т. е. устаревший стереотип женской привлекательности. (М. б., намек: «волос долог – а ум короток»!?) «Платок» – то же самое. «Цветной» – не расовый ли намек? Предлагаю следующую, политически правильную редакцию строфы:

На насыпи, в траве подстриженной,  
Живой и радостный на вид,  
Стоит свободный, не униженный,  
Достойный, зрелый индивид.

Sizeism («размеризм», что ли?) – предпочтение хорошей фигуры плохой, или, проще, худых толстым. Он же fatism («жиризм»), weightism («весизм»). Страшный грех. Попробуйте не взять человека на работу за то, что он толстый – засудят. Есть комитеты, борющиеся за права толстяков. Если раньше толстяк назывался в лучшем случае oversized person, то есть предполагалось, что есть размер (size) нормальный, а есть и другие, сверх нормы, то теперь надо говорить full-figured, что есть маленькая сладостная месть худым: у жиртреста, получается, фигура полноценная, а у доходяги – нет. Недотягивает. Худые пока не протестовали.

Пример феминистского прочтения:

Талия в рюмку.

Всмотритесь в это выражение. Сопоставляются и оцениваются позитивно центральная зона женского туловища и стеклянная емкость для приема алкоголя. Женщина приравнивается к посуде и их функции отождествляются. Хвать – и опрокинул. Здесь, разумеется, выражено пренебрежительное отношение к женщине: она воспринимается лишь как объект удовольствия.

Нехорошо оскорблять человеческую внешность. Мы ведь не виноваты в том, что родились такими, а не другими. Надо избегать обидных слов и выражений. Скажем, уродился человек маленького роста – не называть же его коротышкой (short person). Мягче будет vertically challenged (трудно перевести, нечто вроде «вертикально озадаченный»). Плешивый – hair disadvantaged, foUicularly challenged.

В целом первая задача политической корректности – уравнивать в статусе (за счет подтягивания) отставших, обойденных, вышедших за рамки так называемой нормы. Считается, что низкая самооценка вредна для индивида, а стало быть, и для общества в

целом. Оскорбление же направлено на понижение статуса оскорбляемого (дурак, дубина, мордovorot, рожа неумытая, засранец, мудила гороховый, жиртрест, промсосискакомбинат, осел, свинья, козел, корова, сука, пидарас, очкарик, жертва аборта, чурбан, чучмек, чурка, черножопый, деревня, скобарь, дерьмократ и многое, многое другое). Поэтому необходимо поднять самооценку и запретить любые оскорбления. С этим можно было бы согласиться, но беда в том, что, раз начав, трудно остановиться и провести границу.

Вряд ли женщине приятно, если ее назовут «коровой» или «мочалкой». Это понятно. Труднее понять, когда американские феминистки оскорбляются, услышав слова «honeу», «sugar», «sweetie», которые все соответствуют нашему «милочка» и обозначают мед, сахар, сладкое. Но подумайте сами: подобными словами мужчина указывает женщине на вторичность, униженность ее социального статуса, он как бы посылает ей сигнал о ее неполноценности: она призвана «услужить» мужчине и не более того. Столь же оскорбительно считается подать женщине пальто (что она, инвалид, что ли? Сама не управится? Чай, не безрукая), открыть перед ней дверь, уступить место в транспорте, поднести тяжелую вещь. В газетах даются советы девушкам, как постоять за себя, когда услышишь такое непрошеное обращение: надо повернуться к обидчику и строго указать: я тебе не «honeу», а такой же индивид, как ты... ну и так далее. Почти правильная модель поведения:

Сняла решительно пиджак наброшенный (молодец, женщина: символическая акция избавления от вековой патриархальной зависимости),

Казаться сильною хватило сил (поправка: надо не казаться, а быть; как известно, женщина может делать все то, что умеет мужчина, и еще сверх того),

Ему сказала я: «Всего хорошего» (а вот это зря: сейчас нас учат не сдерживаться, а прямо лепить, что думаешь, то есть выявить в себе внутреннюю стерву, to discover your inner bitch).

А он прощения не попросил (все они свиньи, что хоть и общеизвестно, но всегда нелишне напомнить).

В русском обществе, конечно, тоже существует представление о политической корректности, хотя и слабое. В шестидесятые годы продавали «Печенье для тучных», кто помнит. Покупавший чувствовал себя сильно уязвленным, хотя, думаю, это был не недосмотр, а неловкая попытка избежать слова «толстый», воспринимавшегося именно как обидное. Сейчас подобные продукты уклончиво именуется «диетическими», так как слово «диета» стало в основном связываться с положительным процессом потери веса [несмотря на то, что диеты бывают всякие: бессолевые, для диабетиков и даже для прибавки веса). Кстати, выражение «лица, страдающие ожирением» тоже политически некорректное: я не страдаю, я поперек себя шире и тем горжусь. Не смейте меня виктимизировать! (Victim – «жертва».) Если бы в XIV веке, когда появилась фамилия Толстой, существовало понятие политической корректности, то этот номер у россиян не прошел бы и семья, чей основоположник изволил быть преизрядного весу, получила бы иное прозвание:

Лев Полновесный

«Анна Каренина»

роман в 8 частях

В советской печати уже возражали против употребления слова «больной» в применении к пациентам, или, лучше сказать, к посетителям медицинских учреждений: слово это оскорбляет здоровых, закрепляет за истинно больными ярлык неизлечимости, неприятно напоминает о страданиях. Слово «прислуга» несет оттенок сервильности («служить бы рад, прислуживаться тошно») и давно заменено «домашней работницей». Продавец у нас становится работником прилавка или товароведом. Все эти труженики полей, машинисты доильных аппаратов, операторы подъемников (вместо крестьян, дояров и лифтеров) –

попытка повысить статус малопрестижных профессий. Царя ведь никто не назовет «работником престола». А следовало бы, по справедливости.

Умение прозревать в языке следы угнетения со стороны эксплуататоров достигло в академических кругах Америки виртуозности. Можно попробовать на русском примере: отчего в официальном, бюрократическом языке ваша зарплата называется «оклад»? Оттого, очевидно, что она не «зарплата»: вы гораздо больше «зар», чем вам выплатили. Чтобы скрыть несоответствие затраченного вами труда мизерной выплате, употребляется слово «оклад»: сколько вам положено-накладено, столько и берите, не более. «Зар» соответствует вашей активности, «клад» несет оттенок решения свыше. А если вы работаете сдельно, то это уже будет «заработок». Так, взглядевшись в слово, как в магический кристалл, и прозрев в нем скрытые пружины управления миром, вы найдете и опознаете своего агрессора и можете захотеть предпринять какие-то политические меры, чтобы изменить соотношение сил в обществе. В значительной степени именно через слово, через заложенные в нем сигналы различные группы американского общества добиваются тех или иных политических урегулирований.

В одном американском университете разразился расовый скандал. Белый студент спал в своей комнате в общежитии. Ночью под окно пришла группа развеселых студенток (в дальнейшем оказавшихся чернокожими), буянила, визжала и хохотала. Рассвирепевший студент, которому не давали спать, – а ему с утра на занятия, – распахнул окно и заорал на одну из резвухек: «Что ты орешь, как водяной бык?! (waterbuffalo)». Вместо ожидаемой реакции вроде «Ой, извините» или «Сам такой» девушки усмотрели в высказывании (выкрикивании) студента расовое оскорбление и обратились к начальству. Начальство восприняло инцидент всерьез, – а попробуй не восприми, тебе же достанется, запросто потеряешь работу и другой не найдешь. Клеймо расиста смыть с себя невозможно. Слово за слово, разбуженному зубриле грозило отчисление. Конечно, защитники Первой Поправки к Конституции (свобода речи) тоже не дремали: свободный американский гражданин спросонья может кричать что угодно. Но и защитники меньшинств (чернокожих) не сдавались. Как это всякая сонная дрянь будет безнаказанно сравнивать черты лица представительницы угнетенной в прошлом расы с безобразным животным! Кажется, студент победил: его адвокаты сослались на то, что во-первых, на улице было темно и цвет кожи был не виден, а во-вторых, животное waterbuffalo водится только в Азии, а стало быть, сравнение шло не по внешности, а по звуку: голос барышни вызвал у студента соответствующие ассоциации, а Африка здесь ни при чем.

Пример двусмысленности высказывания на русском материале:

Не нужен мне берег турецкий.

И Африка мне не нужна.

С одной стороны, автор вроде бы отказывается от территориальных притязаний и отрицает империалистическую экспансию, это хорошо. С другой стороны, он вроде бы отказывает в праве приема на работу мигрантам из стран Ближнего Востока (немецкие чернорубашечники и по сей день терроризируют семьи турецких иммигрантов) и отказывается признать вклад африканских народов в мировую культуру (в лучшем случае), а то и солидаризируется с ку-клукс-клановцами.

Расовый вопрос в Америке – заминированная территория. Достаточно сказать, что, с одной стороны, существует квота при приеме на работу, и так называемые афро-американцы, женщины, другие меньшинства должны получать, по крайней мере, теоретически, предпочтение. С другой стороны, политическая корректность требует «цветовой слепоты» (color blindness), неразличения цвета кожи: равенство так равенство. Как быть? Вот нерешаемый вопрос: если в театре лучшие роли должны доставаться лучшим актерам, а при приеме на работу должно соблюдаться расовое равенство, то

допустимо ли, чтобы роль Отелло досталась корейцу, а Дездемона была черной? Если в репертуаре только Шекспир, то что делать актерам азиатского происхождения?

Президент одного колледжа сообщил, что зал, предназначавшийся для торжественного выпуска студентов, закрывается на ремонт. Студенты огорчились. «Что ж делать, – вздохнул президент, – у меня самого был черный день, когда я об этом узнал (black day). «Ах, черный день?! Черный?! – возмутился чернокожий студент. – Что это за расистское отношение? Как плохой – так сразу черный. Слово черный для вас связано только с отрицательными эмоциями!» Долго извинялся и каялся напуганный президент: оговорился, больше не буду, простите и так далее. Отбилась, могло быть хуже.

Но как же быть? Куда девать выражения «черная овца», «черная метка», «черная оспа», «черный список»? Неужели из боязни задеть чьи-то чувства, из желания быть деликатным и вежливым надо портить, менять, искажать английский язык?

Надо! – считают приверженцы Пи-Си.

Так, американские феминисты (-ки) усмотрели в слове history (история) слово his (его), и предложили историю женщин называть herstory, хотя слово history – греческого происхождения и к современному английскому притяжательному местоимению his никакого отношения не имеет: мало ли какие буквы сойдутся на письме. Неважно. О слове womup я уже говорила. В параллель к слову hero (герой) предложено употреблять слово shero. Председатель, заведующий всегда был chairman. Теперь часть завкафедр в университетах (женщины) совершенно официально называют свою должность chairwoman, а если, скажем, нужны выборы заведующего и будущий пол кандидата неизвестен, то годится нейтральный термин chairperson. Это создает известную путаницу: некоторые женщины плевать хотели на Пи-Си и хотят продолжать называться chairman, других это оскорбляет, и как к ним обращаться, предварительно не выяснив их предпочтений, неизвестно. Приходится осторожно выяснять стороной, а то ведь сделаешь faux pas.

Можно себе представить, сколько шуток и насмешек прозвучало из нескгибаемого лагеря ревнителей традиции! Предлагали тогда уж переименовать остров Манхэттен (Manhattan, индейское слово) в Personhattan, mailmen (почтальоны, в слове слышится male, мужчина) в personpeople, и тому подобное.

Конечно, «herstory» и «оварий» – это смешно. Это как если бы мы, носители русского языка, прозрели в слове «баобаб» слово «баба», возмутились бы и стали заменять его на «баожен», «баодам», или, в неопределенно-нейтральном ключе, «баочеловек». Вместо «Бабетта идет на войну» – «Человетта идет на войну». Что было бы со словами «ондатры», «бабахнуть», «сегодня», «лемур»?.. Вместо бабочек порхали бы индивидочки, а что стало бы с Баб-эль-Мандебским проливом, даже выговорить страшно.

С расовой чувствительностью хуже. По-русски слово «негр» звучит нейтрально, по-английски – политически двусмысленно. Очень малая часть населения хочет называть себя negro, большая часть не переносит этого слова и хочет быть black. Но из-за неприятных оговорок типа «черный день» был найден нейтральный вариант: Afro-American. Хорошо? Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего, как вздыхает русский народ на завалинках. Если араб из Египта, что в Африке, переселился в Америку, может ли он считаться Afro-American? Нет, ведь он белый. А как называть черное население в Африке? Тоже Afro-Americans? Даже если они ногой в Америку не ступали? А Пушкин, наш Пушкин! Неужели и он, невыездной рабовладелец, тоже афро-американец?\* Предлагались варианты «non-white» (не-белый) и «people of color» (именно не «цветные люди», а «люди цвета», почему-то это ласкает чей-то чувствительный слух.) Опять-таки сразу набежали насмешники и пародисты и предложили называть женщин «person of gender». Но в лагере Пи-Си это не вызвало улыбки. Они вообще не улыбаются. Тревожная серьезность, бессонные ночи на посту, суровая складка губ. Всегда в дозоре. «Если враг – он будет сбит. Если наш – пускай летит».

Примеры правильной цветовой слепоты:

...очи

Светлее дня, темнее ночи.

Прекрасные, политически зрелые стихи! Представитель любой расы свободно может самоидентифицироваться с окраской зрительного органа описанного субъекта. Или:

Мы купили синий-синий,  
Презеленый красный шар.

(Не требует комментариев.)

Есть деликатная область, касающаяся инвалидов и сумасшедших. Медицинские, клинические идиоты и кретины не виноваты в том, что родились такими или стали таковыми в результате заболевания, которое может постигнуть любого. Это Бунин мог писать о том, как прочел в детстве в старой подшивке «Нивы» подпись под картинкой: «Встреча в горах с кретином». (Медицинский кретинизм – результат дефицита йода в организме.) В рамках Пи-Си кретины называются differently abled – альтернативно одаренные. (Вы одарены вот так, а они иначе. Все равны. А судьи кто?)

Теоретически это смешно и нелепо. Но вот в американских супермаркетах вас часто обслуживают дауны: помогают укладывать купленные вами продукты в пластиковые пакеты. Болезнь Дауна – генетическая, у даунов лишняя хромосома. Они опять-таки не виноваты, они эту хромосому не заказывали. Милые, доброжелательные, с раскосыми глазками, блаженной полуулыбкой и замедленными движениями, дауны всегда и всюду почему-то делают одно и то же: на дно пакета укладывают помидоры или персики, а сверху – тяжелые консервные банки. Если бы так сделал нормальный продавец («работник прилавка»), то вы бы возмутились: «Какой идиот...?!» А тут это сделал именно идиот, которого вам так называть совершенно не хочется. Он вам мил, вам его жалко, его дружелюбные глазки и плоский затылочек заставляют сжиматься ваше сердце, и когда вы вспомните, что о нем вам предложено думать, что он «альтернативно одарен», то это уже не кажется вам глупым, вы благодарны политической корректности за то, что она подыскала для вас термин, чтобы адекватно выразить ваши чувства. Вы начинаете представлять себе, как он, даун, должно быть, воспринимает этот странный мир. Наверное, ему, как резвящемуся дитяти, нравится сначала взять в руки вот эти теплые круглые помидоры или мягкие румяные персики, а уж потом прикоснуться к неинтересным холодным жестянкам, – сначала живое, а потом мертвое. И в этом есть глубокий альтернативный смысл и чистая внутренняя свобода.

Нет, политическая корректность не так глупа, как кажется. И когда видишь заботу об инвалидах (которых, правда, нельзя так называть), все эти расширенные дверные проемы, специальную подножку в автобусах для подъема инвалидного кресла, особые туалеты, пандусы, скаты, дорожки, когда узнаешь, что есть закон, по которому ты, делая ремонт в квартире, обязан переделать санузел так, чтобы в него свободно въехала коляска с альтернативно одаренным индивидом, хотя бы ты был бирюк и родную сестру не пускал на порог, – заважаешь, ей-богу, и корректность, и ее применение, и трижды подумаешь, прежде чем ляпнуть:

Ну, я похромал,

или:

Горбатого могила исправит,

а то и:

Что я, рыжий, чтобы на них горбатиться?

И конечно, развившаяся чувствительность заставит пересмотреть свой взгляд на русскую классику: тревожно обведешь глазами присутствующих, прежде чем ляпнуть вслух:

Когда с беременной женой  
Идет безрукий в синема,

или:

Творец! Она слепа!

а также:

Слепец! Я в ком искал награду всех трудов!

а также:

Глухая ночь, как зверь стоокий,

а уж тем более:

Иль мне в лоб шлагбаум влепит  
Непроворный инвалид.

а не то и правда влепит, и присяжные его оправдают.

И наконец, корректность экологическая. Теперь мы знаем – и убедились на примерах, – что белый мужчина написал огромное количество текстов, в которых он ловко продернул свою эксплуататорскую мысль о своем прирожденном праве господства над противоположным полом и небелыми расами. В этом мы, феминисты (-ки), немного разобрались, посмотрим глубже. Самозванный «царь природы», негодяй поставил в подчиненное положение и животных. Он проявляет к ним то же снисходительное, патерналистское отношение, что и к женщинам. Он, собственно, ставит женщин и животных на одну доску (примеры из русского языка: «цыпа», «киса», «голубка», «зайка»). По-английски домашнее животное – от игуаны до сенбернара – называется pet (что-то вроде «любимчик»). Политическая корректность требует, чтобы к этим «любимчикам» относились как к равным и называли animal companions («животные товарищи»). Соответственно как только гуппи и хомячки повышены в статусе, к ним начинают применяться критерии человеческого общества. Домашние животные обязаны вести себя в соответствии с законами, писаными для людей, и это уже отражено в американском законодательстве. Так, собака не имеет права лаять и кусаться, кот – царапаться и воровать рыбу-мясо. Газетное сообщение: некий кот, уже неоднократно до того причинявший беспокойство соседям, забрался в студенческое общежитие и, в отсутствие хозяев, наелся чем бог послал и что ему приглянулось. Вернулись студенты и попросили кота выйти вон. (Это важный юридический момент: если бы студенты сразу схватили кота, это было бы нарушением котových прав; нет, студенты сделали устное заявление: вербально УКАЗАЛИ коту, что желательно было бы обойтись без его присутствия.) Высказанное пожелание не имело воздействия; кот не внял. Студенты перешли ко второй фазе и стали отлавливать кота. Тварь не покидала помещения и вела себя агрессивно. Фаза третья: была вызвана полиция. Кот был отловлен, судим, найден виновным в неоднократном нарушении общественного порядка (то есть у него уже был привод) и приговорен к смертной казни. К счастью для преступника, на выручку пришло Общество защиты животных: кот был взят Обществом на поруки (на лапы?) и помилован.

«Не знаешь – научим; не хочешь – заставим» – эта советская максима успешно применяется к животным в Америке. Существует специальный пистолет, принципа действия не знаю, что-то вроде инфразвука, – который применяется к лающим собакам.

После неоднократного наказания (залаял – стреляю) собака, в соответствии с учением Павлова, лаять перестает навеки. Той же цели служит невидимый забор, окружающий участок: ваш пес, пережив неприятные ощущения, связанные с попыткой бежать из зоны, «оставляет надежду навсегда». Но кому много дано, с того много и спросится: так, собака, которая поцарапала девочку в штате Нью-Джерси (после того как девочка ударила спящую собаку палкой), была, опять-таки, арестована, судима и приговорена к смертной казни. Семья девочки истратила около 25 000 долларов на адвоката, пытаясь отбить собаку у системы правосудия; год животное содержали в тюрьме: всего штат истратил около 40 000 долларов на содержание собаки; нелепая история попала в газеты. Чем дело кончилось – не знаю, как-то упустила, но не сомневаюсь, что то же Общество защиты животных играло большую роль в этой истории. Совсем недавнее сообщение: раскрыты подпольные петушинные бои в штате Нью-Йорк, где они запрещены как жестокое обращение с животными. Петухов специально выращивают, кормят отборной пищей, учат яриться; перед боем им вкалывают наркотики и обезболивающие средства, а к ногам привязывают острые стальные шпоры. Собираются посмотреть сотни людей. Петухи дерутся насмерть, забивая друг друга смертельными шпорами; люди делают ставки, проигрывают или выигрывают большие деньги, болеют за петухов, падают в обморок. Вот полиция выследила петушистов и сделала налет на место боя. Зрители и владельцы бойцов были арестованы, а петухов отняло все то же Общество защиты животных, возмущенное мучительством. Однако, так как петухи ничего, кроме как драться, не умели и исправлению не подлежали, они были («к сожалению») уничтожены работниками Общества (безболезненно) и захоронены.

Вот типичное применение идеологии Пи-Си. Люди решают за петуха, приписывая ему свою человеческую мораль, свои понятия о нравственности. Кто заглянул в темную куриную душу, кто точно знает, что петуху лучше скончаться от старости в кругу родных кур и яиц (артрит, глаукома, старческое дрожание лап), нежели погибнуть в сексуально-агрессивной схватке с достойным соперником – с адреналином в крови и огнем в глазах («есть упоение в бою»)? Отмечен ли случай, когда петух с горькой усмешкой на устах (клюве) сам отстегнул бы бритвенно-острые шпоры и покинул бы ринг, покачивая головой и сожалея о заблуждениях человечества и птичества, и ушел бы в поля, покусывая травинку в глубокой думе, или же занялся продуктивным сельским трудом, или кукарекал проповеди заблудшим, или организовал группу взаимной поддержки по 12-ступенчатой системе для ветеранов боя, или продал свои воспоминания Голливуду, – то, что сделали бы люди?

Пример правильного отношения к животным:

Приди, котик, ночевать,  
Нашу деточку качать.  
Я за то тебе, коту,  
За работу заплачу:  
Дам кувшин молока  
И кусок пирога.

Честный труд за честную плату, как говорится и поется в Америке. Партнерство и равенство.

Примеры неправильного отношения к животным:

Пой, ласточка, пой,

или:

Ну, тащися, Сивка!

или:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,

так как это harassment, принуждение.

Принуждением являются и такие возмутительные строки, как:

Не спи, не спи, художник.

Не предавайся сну,

а также:

Не спи, вставай, кудрявая,

а также:

Любите живопись, поэты;

а нижеследующее являет собой сексуальное принуждение, за которое получают тюремный срок:

Поцелуй меня,

Потом я тебя,

Потом вместе мы Поцелуемся!

Частный случай – вмешательство в личное пространство человека, которое у американцев составляет что-то около полутора метров окружающего человека воздуха (у супругов меньше}, а у некоторых средиземноморских наций – ни одного. Если человек может разговаривать с вами, только приблизив лицо вплотную, или тыкая кулаком в плечо, или вертя вашу пуговицу, то он нарушает ваше личное пространство. У русских, очевидно, это пространство тоже небольшое, что знакомо каждому, на чьей спине лежали россияне в очереди в кассу в полупустом магазине. Нарушением являются также слишком личные вопросы. Примеры:

Соловей мой, соловей,

Голосистый соловей,

Ты куда, куда летишь,

Где всю ночь пропоешь?

(Да какое тебе дело?!)

О чем задумался, детина?

или:

Что ты жадно глядишь на дорогу?

Задание: определить, является ли текст

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет

политически корректным или же нет? Варианты ответов:

1. Да, так как описывает женщину, преодолевшую стереотип «чисто мужской» или «чисто женской» профессии.

2. Нет, так как описывает вмешательство в частную жизнь животного, а также непрошеное нарушение (unsolicited trespassing) приватности (privacy) частного жилища.

Политически корректное поведение в теории требует признания всеобщего равенства, установления справедливости, опоры на собственные силы, предпочтения богатого внутреннего мира индивида случайным чертам его внешности; требует быть внимательным к любым меньшинствам и при этом не унижать их жалостью, требует бережно охранять окружающую среду и не уничтожать из пустой прихоти мир животных и растений; требует иметь в здоровом теле здоровый дух, не пить – не курить и питаться свежими овощами и экологически чистой водой – все это не вызывает возражений, разве что вызывает в памяти подозрительно знакомые, еще не отшелестевшие в залетейские пространства конструкты: человек будущего, строитель коммунизма, дружба народов, свинарка и пастух, внучата Октября. Но ведь для того, чтобы успешно построить светлое будущее, кто-то должен бдительно. «Спи, Светлана! Папа с трубкой...», а в американском варианте мама с трубкой и небритыми из принципа ногами не спит и несет свою бессонную службу, как опричник. Из программ университетов, колледжей, школ изымаются политически некорректные тексты, написанные «мертвыми белыми мужчинами»: хватит, попили нашей Кровушки. Неизъятые тексты прочитываются с точки зрения угнетенных и клеймятся. В книжных обзорах, в рецензиях авторов хвалят за тему, за правильно выбранных персонажей: пара лесбиянок, усыновляющая корейского ребенка, больной СПИДом, вегетарианец, китайский иммигрант, требующий признания вклада китайцев в строительство американских железных дорог в XIX веке. Хвалят и автора, если он родился с церебральным параличом или совсем без головы. При этом больных желательно не называть больными, а считать здоровыми: они просто немножко другие. Но не хуже вас.

Дж. Ф. Гарнер, автор «Политически корректных сказок», пересказал классические, всем известные сказки на феминистско-экологический манер. Получилось, по-моему, не очень смешно, хотя и познавательно. Гарнеру, мне кажется, не хватило смелости и артистизма, чтобы создать полноценную сатиру на Пи-Си. Он остановился на полпути, словно бы боясь возмущенной реакции задетых. Если так, то напрасно: идти, так идти до конца, все равно он уже заклеямен. Либеральная жандармерия, политический РАПП лучше знает, на три метра под землей видит.

Тем не менее это полезное чтение. Желаящие посмеяться посмеются, желающие обратиться в феминистскую веру найдут для себя полезные указания, в каком направлении двигаться. Надеюсь, что и мой скромный труд тоже не пропадет даром: желающие перечитать русскую литературу с подозрением, вызванным вновь вскрывшимися обстоятельствами, теперь знают, как пользоваться политически корректной, вечнозеленой идеологической метлой. С Новым 1948-м или 1984-м годом, дорогие товарищи.

**Альтернативная поэзия**  
**Русский рок**  
**Борис Гребенщиков**

**Об авторе:**

*Мне лень быть против чего-либо*<sup>120</sup>

*В Праге с гастролями побывала легендарная группа "Аквариум". Борис Гребенщиков - давний друг Радио Свобода. В 2000 году в свой предыдущий приезд в чешскую столицу он дал у нас сольный концерт - и вот сейчас мы пригласили его в студию Радио Свобода для разговора. Последние семь лет были очень важными для Гребенщикова и его группы: выпущено целых четыре альбома, последний из которых - "Беспечный русский бродяга" - удивил даже искушенных аквариумистов. Сам Борис Гребенщиков считает, что 2000-е стали совершенно новым этапом в истории группы.*

*Вообще же, у "Аквариума" очень долгая история: летом этого года группе исполнится тридцать пять лет. Какая история - такой и разговор. Мы с Борисом договорились, что беседа наша будет состоять из двух частей, даже настоящих "томов" - с приложениями и музыкальным сопровождением - и что говорить мы будем только о самом важном: о времени, религии, музыке.*

*Но начать мы решили с пространства. Ведь именно пространство преодолевают на гастролях Борис Гребенщиков и его музыканты. Обычно в России, когда едут в западном направлении - в Чехию, в Польшу, во Францию, в Великобританию, - говорят: "Мы едем в Европу".*

*Вы приехали из Европы в Европу, из России в Европу, или из Евразии в Европу?*

*Я приехал из России в Европу. Потому что Россия, по моему ощущению, никогда частью Европы не являлась, хотя Азией она тоже не является. Все же говорят, что Россия - это что-то находящееся между Европой и Азией. Как географически, так и по ощущению людей, по психологическому настрою, по их отношению к миру. Именно этим Россия и интересна, что она может быть прекрасной и очень даже не прекрасной. В то время как здесь, в Европе, потенциал от абсолютного нуля до какой-то большой высоты; здесь все, с моей точки зрения, спокойнее. В России разгул имеет более безобразные формы.*

*Может быть, потому, что Россия просто моложе?*

*Да нет, земля-то вся одна и та же, земля вся появилась в одно и то же время.*

*Я имею в виду исторически.*

*Исторически, мы называем Россией что-то начиная с X века. Но ведь люди, которые ее населяли, были там и раньше, просто они так не назывались.*

*И вели себя так же?*

*И вели себя абсолютно так же.*

*То есть разгул был невероятный, но и высоты достигались потрясающие.*

*По поводу потрясающих высот: я очень люблю Россию, потому что в другой культуре я не вырос, поэтому продолжаю считать Россию культурой уникальной, редкой и хорошей. Но когда я сравниваю даже наших замечательных композиторов - Мусоргского, Бородину, Римского-Корсакова с европейскими - мне европейская музыка немножко ближе по тому, как она сделана.*

---

<sup>120</sup> Кирилл Кобрин (Прага), интервью с Борисом Гребенщиковым. [www.svobodanews.ru](http://www.svobodanews.ru), апрель 2007//  
<http://aquarium.ru/documents/interview/interv13.html>

*Тут известный парадокс получается, или музыка, как и математика, требует все-таки западной отделки, западного "рацио"?*

*Мне кажется, что кто бы какую вещь ни делал, существует общий критерий того, хорошо она сделана или нет - будь то вещь китайская, американская, европейская или русская. Поэтому когда у наших композиторов, при огромном мелодическом воображении я слышу определенные просчеты в композиции, мне обидно. Не то что особенно обидно. Потому что, честно говоря, я считаю Римского-Корсакова даже меньше "своим", чем, скажем, Брукнера или Баху. Для меня Бах - свой. Я думаю, что такое отношение у большинства людей. Мы все люди, а специальное "русское" часто бывает отдельным экзотическим моментом в нашей психике. Ну да, мы - русские, мы должны любить Римского-Корсакова, а любим почему-то Баха.*

*То есть "священные камни Европы" оплакиваем скорее мы, нежели их владельцы?*

*Я не вижу необходимости их оплакивать. По-моему, скажем, Бах, он как был, так он и есть. Или Моцарт, хоть и не очень его люблю - гений. Он как был, так и есть. Он в той же степени "наш", в какой он немецкий, датский или австралийский.*

*Давайте поговорим о том городе, где вы прожили всю жизнь, я имею в виду Петербург, Питер, Ленинград, как вам удобнее. Как вы его называете?*

*С моей точки зрения - я прошу прощения у всех заинтересованных людей - слово "Питер" относится к очень печальному периоду жизни этого города, когда всех, кто умел думать, умел как-то себя выражать и чувствовать, их выбили и перебили. Тогда он стал "Питером". Питер - это город гопоты. И когда теперь его называют Питером, мне немножко печально, потому что люди только с этим его ассоциируют. А гопота... Помните, аббревиатуру "ГОП" - Государственное Общежитие Пролетариата? Кстати, оно было именно у нас, на Лиговке. Поэтому мне всегда казалось, что Петербург достоин большего, более уважительного к себе отношения. Но когда человек говорит "Питер", я понимаю, что у человека такое отношение.*

*Вы живете до сих пор в этом городе, вы в нем, насколько я знаю, родились и прожили всю жизнь. У вас никогда не было желания переехать, например, в Москву, как очень многие сделали?*

*Москва мне очень нравится, как место, куда я могу приезжать, встречать друзей, общаться с ними и уезжать. Жить там я бы не смог, потому что для меня там слишком сильна энергия денег и власти, которая, как очень сильное магнитное поле, изгибает психику живущих там людей. Что я на примере многих знакомых, которые там прожили всю жизнь, очень хорошо вижу. Люди начинают думать о силе, славе, деньгах, о чем-то еще - что мне кажется довольно пустой тратой времени.*

*То есть вы избегаете этого города либо потому, что вы не хотите постоянно общаться с такими людьми, либо вы не уверены в себе?*

*Во-первых, я абсолютно не уверен в себе и никогда не был в себе уверен. Я как-то никогда в жизни ни на секунду не рассматривал возможность жить в Москве. Мне вполне приятно, что этот город существует, что я могу туда приехать, сходить в ресторан, потратить на это денег столько, сколько будет стоить среднее путешествие вокруг земного шара, или посмотреть, как мои друзья будут платить, и думать, что я на это мог бы сплавать, по крайней мере, вокруг Европы. А потом - спокойно уехать назад, заехать в Петербург ровно на два дня, зайти в студию, записать радиопередачу или что-нибудь еще, и уехать на месяц опять гастролировать. В этом состоит моя жизнь.*

*Вы видели Петербург, будем называть его так, в разные периоды его жизни - в 70-е, 80-е...*

*Я, собственно, видел и в 50-е и в 60-е...*

*Я имею в виду то, что вы видели, когда вы писали песни, когда был "Аквариум". 70-е, 80-е, 90-е и 2000-е годы. Петербург очень сильно менялся, хотя бы внешне. В каком виде он вам больше нравился и нравится?*

*Тут можно сразу определить три периода. Первый был до перестройки. Это был период, когда "троллейбусы катились по статным площадям", когда милиционеры даже не очень обращали внимание на то, чем я занимаюсь.*

*Там были другие органы, которые этим занимались.*

*Да они довольно спокойно, добродушно к нам относились, и это было забавно. Потом был ельцинский период, когда пять лет город выглядел так, как если бы там только что произошла гражданская война или она вот-вот произойдет, потому что все было перекопано в ожидании баррикад. Было довольно страшно. А потом он стал опять возвращаться к состоянию картонного фасада, каким он был с самого начала, когда о нем писал маркиз де Кюстин. Такая Европа в нашем представлении: давайте соберем на одной маленькой площади все известные фасады и посмотрим, что будет. При этом проходные дворы трогать не будем.*

*Получилось неплохо.*

*Фасады хорошие. Дворы я бы переделал. И население бы поменял в очень значительной степени.*

*Я спрашивал, скорее, о людях, нежели о строениях. Хотя, конечно, в Петербурге архитектура - вопрос очень важный и всегда актуальный, даже политический, если вспомнить все споры вокруг газпромовской башни. Мы об этом говорить не будем, давайте поговорим о людях. Вот люди, среда ваша, как она поменялась с 70-х годов, и осталась ли она вообще?*

*Я попробую быть безнравственным и сказать, что все-таки что-то происходит только в среде людей, которым от 15 до 25-35 лет. В этой среде всегда что-то шевелится. К сожалению, я привык ждать, что после шевеления происходит какой-то результат. Вот в Петербурге, к сожалению, все время есть шевеление, и никогда нет результата.*

*Может быть, нет инфраструктуры, превращающей "шевеление" в "результат"?*

*Может быть, и это само по себе необъяснимо и парадоксально. Скажем, в Москве (которая, конечно, значительно богаче, но все равно сравнима) - огромное количество клубов, где музыканты могут играть: и молодые, и немолодые, и старые. В Петербурге таких клубов нет, они появляются, а потом гасятся, через полтора-два года, сами по себе исчезают. В Петербурге нам играть негде. Те люди, которые пытаются сделать клуб, постепенно машут на это рукой и уходят. Я никак не могу это объяснить. Но почему-то это происходит? Наверное, это и есть отсутствие инфраструктуры. Поэтому в Петербурге интересно жить, когда ты находишься в контакте со средой, в которой происходит шевеление, а как только начинаешь ждать результатов, приходится разочаровываться.*

*И в Москву?*

*Ну, в Москве не могу сказать, что там много результатов. Но, по крайней мере, там есть инфраструктура. В Петербурге до сих пор нет ни одной фирмы звукозаписи, кроме одной, которая сразу при контакте с артистами говорит: "Во-первых, мы не будем вам платить, а во-вторых, мы никогда не будем продавать ваши пластинки, которые мы издадим, потому что мы это делать не умеем".*

*Но записывать они могут?*

*Записывать они тоже не могут.*

*Это специальный такой, петербургский...*

*Очень петербургский. И так - во всем, абсолютно во всем. У нас такие фирмы грамзаписи, у нас такие издательства. В этом - вечный шарм Петербурга. Ведь если вспомнить Гоголя и Пушкина, в принципе, это то же самое.*

*Но тогда власть располагалась в Петербурге, и это было системообразующим фактором.*

*Я думаю, что Петербург - это такая черная воронка, которая засасывает в себя всю живую энергию, поэтому большие творцы часто там концентрируются, потому что их притягивает это место. Знаете, как возле проклятых мест часто строили церкви, чтобы как-то сбалансировать это, так вот в Петербурге количество творцов балансирует эту черную дыру.*

*Беседа о пространстве, России и беспечных русских бродягах*

*"Беспечный русский бродяга" - это что? "Лихой человек в ледяной пустыне", как говорил Победоносцев или это, скажем, лесковский персонаж?*

*Конечно, лесковский. Лесков, вы очень правильно сказали, наверное, ближе всего к этому образу. И хотя песня была написана как шуточка, но выяснилось, что в шуточке как раз лучше всего все отражается. Когда пишешь, не нагружая себя возможными смыслами, а просто от удовольствия, то выясняется, что в шуточке сказано больше, чем в самом длинном романе.*

*Любопытно, ведь песня "Беспечный русский бродяга" как-то по-китайски звучит.*

*Интересно. Потому что мелодия ирландская. Тогда можно было сидеть с записной книжкой и записывать, что происходит вокруг меня. Если она получилась китайская, то, значит - вот что происходило!*

*Другая песня с этого альбома, "Голова Альфредо Гарсия". Это по жанру, знаете ли, полотно. Есть военные панорамы - Бородинская панорама, Севастопольская панорама - а в данном случае это полотно социально-политическое, если угодно, общественно-культурное. И где-то раз в десятилетие вы пишете такую "панорамную" песню. В 90-е это была "Древнерусская тоска", в 80-е или она, может, в конце 70-х написана - "У меня был друг, его звали Фома", тоже с разворотом того, как вам представляется жизнь вокруг вас; в том числе и с политическим разворотом, безусловно. За 10 лет накапливается потребность отчитаться перед собой и перед слушателями по поводу того, как вы понимаете, что происходит вокруг? Вот именно так, количественно, скорее, нежели персонально, психологически?*

*Очень может быть, я никогда об этом не думал, но это похоже на правду. Потому что все три упомянутые вами песни были написаны практически за полтора-два часа. То есть так много было внутри какого-то материала, что когда находишь удачный размер - так что слова начинают вставать, то они выливаются и встают. Потому что "Древнерусскую тоску" я написал на пальцах, даже без гитары. Просто было такое внутреннее ощущение этого ритма, одна строчка вылилась, а потом как плотина сломалась, они хлынули, за полтора часа была готова песня. Я детям ее пел, проверял, это полный идиотизм или, наоборот, что-то хорошее.*

*Что они сказали: папа, это именно так и происходит?  
Дети сказали, что, типа, отличный рэп.*

*Альбом "Беспечный русский бродяга" получился большой, он длиннее предыдущих альбомов...  
В полтора раза...*

*И он очень разнообразный. Не было ли у вас опасения, что "распадется", что он не будет держаться в памяти и в восприятии, как нечто целое?*

*Мне про это все мозги прожужжали. Все люди, которые вокруг меня, все люди, которых я люблю, которым я доверяю - все мне говорили, что я совершаю преступление и сам рою себе яму, из которой не выберусь. И все мне говорили, что это огромная ошибка. И мне пришлось, сжав зубы, полтора года это терпеть. Потому что я знал, что рано или поздно я пробьюсь. И я, в общем, доволен результатом.*

*То есть вы считаете, что он держится?  
Да он точно держится, я по себе знаю.*

*Разговор об истории религии и музыки*

*Мы говорили о местах, о пространстве, теперь поговорим о времени. "Мне пора на покой, я устал быть посланцем рок-н-ролла в неритмичной стране...". Лет 30 тому назад написанная песня. Не устали ли вы?*

*Вы знаете, партия приказала стоять на своем, пока не назначат нового, но как-то про наше направление забыли...*

*То есть, другого ответственного нет?  
Нет.*

*Но вопрос, если говорить серьезно, важный для каждого человека, играющего рок-н-ролл, - это возраст. Потому что рок-н-ролл появился как музыка молодых, сейчас уже это совсем не так, может быть, рок-н-ролл становится как джаз, "музыкой для всех" и в то же время ни для кого. Давайте разберем это подробно.*

*Джаз как, собственно, музыка барокко, как классическая музыка, романтизм, все остальное, имеет определенный период жизни. И пока этот период длится, происходит что-то интересное. Рок-н-ролл, как его понимает весь мир, существовал с середины 50-х, может быть, под самое начало 70-х, но, в принципе, под самый конец 60-х. Русский рок существовал с конца 70-х по начало 90-х. Я бы не сказал, что мы играем рок-н-ролл, или что мы его играем последние 15-20 лет.*

*А что вы играете?*

*Бог знает. Мы работаем с песнями, пытаемся песенную структуру как-то расширить, усовершенствовать... Или, если быть совсем банальным, мне очень хочется, чтобы в России были песни, к которым существовал бы подход на уровне общемировом, чтобы не делать себе скидок. И все, что мы делаем, это как раз мои попытки сделать так, чтобы это, наконец, произошло, чтобы можно было издать пластинку с русскими песнями и сказать, что это, без скидок, более или менее на мировом уровне. И чтобы люди, не знающие русского языка, тоже могли это слушать, а люди знающие русский язык, получали бы еще дополнительный бонус в качестве понимания - даже не то, что слов текста песни, а внутреннего ощущения.*

*Речь идет об эстетической конвертируемости...*

*Прекрасное выражение, я давно не слышал лучшего. Я с ним согласен. К сожалению, в России как валюта не конвертируема, так и искусство, в основном, не конвертируемо, к моему просто логическому недовольству. Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы у нас было что-то, что было бы конвертируемо.*

*И вы пытаетесь исправить ситуацию?*

*То, что вы процитировали в самом начале этого тома - фраза, которая описывала мои намерения еще тогда, когда я совсем не умел этого делать, но очень этого хотел.*

*Довольны вы промежуточным результатом?*

*Промежуточным, конечно, результатом - да. Могу честно сказать, что мы сделали что-то, на что мне приятно оглядываться, и что мне приятно иметь в качестве собственного багажа. Вот, что у меня есть. Много такого, много сякого, но, в целом, мне это нравится, я доволен результатами.*

*Как раз о багаже, о том, как этот багаж выглядит хронологически. Вот Гребеничиков, "Аквариум" 70-х, ведь 70-е годы - это тоже история "Аквариума", это важно, хотя полноценных альбомов не было, вот "Аквариум" 80-х, 90-х и 2000-х. Какой из них вам больше нравится?*

*Каждый был очень уместен в свое время и, более того, каждый из них был необходим в свое время, и другого бы не могло быть. В 70-е мы играли музыку просто для удовольствия игранья музыки, я начинал учиться искусству писать песни.*

*В 80-е я уже умел писать песни, более или менее, и мы учились, как эти песни играть вместе, как делать так, чтобы они еще звучали, чтобы за них было не стыдно.*

*В 90-е, по неизвестной мне причине, но абсолютно реальной, почему-то я семь лет писал только музыку в русском размере, в основном, три четверти. Вся группа на меня хмурилась, била копытом, говорила: "Ты когда-нибудь что-нибудь напишешь другое, кроме вальсов?". Я говорил: "Был бы рад, но не получается". И это тянулось почти до конца 90-х годов. Потом я из этого вырвался, срочно написал пару альбомов, более или менее стандартного кантри-рокового формата, квадратно-балладной формы, общеамериканско-европейской.*

*А в теперешних, нулевых годах, мы до сих пор экспериментируем и с формой, то есть опыт писания песен уже есть, чего с этим можно добиться мы уже знаем, а теперь интересно узнать, что можно сделать еще, кроме того, что мы знаем.*

*Вот это "мы", вы все время говорите "мы". Все-таки, это абсолютно разные люди, и абсолютно разные составы, даже идеологически разные. Дружеский "Аквариум" 70-х и, отчасти, 80-х, и уже немножко по-другому сформированные составы 90-х и двухтысячных, не говоря уже о том, что у вас есть опыт и работы с западными музыкантами: альбом "Лилит", записанный с The Band, и так далее. Вот это "мы", оно важно для вас?*

*Не то, что важно, оно необходимо. Как бы я не хотел сделать что-то сам по себе, когда я делаю сам по себе, получается, что мне не интересно делать все самому. Более того, я считаю это чем-то сродни рукоблудию, когда делаешь что-то один. Мне интересно работать, когда я чувствую плечо друга, товарища, коллеги и его отзыв на то, что я делаю. Поэтому, когда я в "Аквариуме" - а это состояние, в котором я нахожусь большую часть своего времени, 90 процентов - мне интересно сотрудничать с людьми. Поэтому я - только часть, и если большая часть группы скажет, что лучше бы этого сегодня не играть или лучше это сделать по-другому, я скажу: "О'кей".*

*Вы не деспот?*

*Я деспот, но я деспот образованный, в том смысле, что я знаю - если навязывать людям свою точку зрения, в которой я сам не уверен, то люди не смогут сделать того, что я хочу. А когда они делают что-то сами по себе, их проще направить - и они получают удовольствие, и я. А навязывать свою волю - глупость и необразованное хамство.*

*Вы рассуждаете как абсолютный монарх, но просвещенный, как просвещенный монарх XVIII века, как Екатерина II.*

*Так это естественно. Любой человек, который хочет чего-то добиться, рассуждает так же.*

*В вашей дискографии - десятки альбомов. Я решил проверить память, начал считать перед нашей встречей, решил специально не залезать на сайт, насчитал двадцать четыре и сбился со счета.*

*А дело в том, что я сам не знаю, потому что непонятно, что считать альбомам, а что считать сборниками.*

*"Ихтиология" - альбом?*

*"Ихтиология", к сожалению, альбом, потому что я очень хотел записать в студии эти песни, но не было студии, поэтому они записаны на концерте и очень плохо.*

*Итак, десятки альбомов.*

*Около двадцати пяти, плюс-минус.*

*Назовите пять ваших любимых. Если вы, конечно, не хотите обидеть другие альбомы.*

*Нет, большая часть из них была правильной в момент выпуска. Через год от альбома остается приблизительно половинка, но в удачном случае эта половинка останется уже навсегда. Скажем, "Песня рыбака" - альбом со своими плюсами и минусами, но больше половины из этого альбома я до сих пор слушаю с наслаждением и радуюсь: как хорошо, что мы это все записали.*

*Но это последний альбом, а что касается периода более раннего, 80-х годов?*

*80-е годы для меня в большей степени история, потому что у нас, к сожалению, не было ни малейшей возможности записать что-либо настолько качественно, насколько эти песни того требовали, поэтому они записаны очень мило, но это не так интересно мне сейчас слушать. И, слава богу, если это не так с другими людьми. Но даже любимые всеми "Радио Африка", "День Серебра" или "Дети Декабря", они в большей степени сейчас история, а не живая музыка. Они для меня состоялись. Начиная с "Русского альбома", до сих пор остается что-то, что для меня абсолютно живо и сейчас. Хотя я, вероятно, слишком долго живу.*

*Это то, как вы ощущаете альбомы. А как вы ощущаете себя 70-х, 80-х, 90-х и сейчас? Чувствуете ли вы, что это тот же самый человек, что и вы сейчас, либо это другой? Либо вы, как говорят буддисты, вообще не считаете, что есть "Я", а есть комбинация скандх, и тогда бессмыслен этот разговор?*

*Я, честно говоря, не видел ни одного буддиста, который бы считал себя комбинацией скандх.*

*Они так говорят.*

*Да, они так говорят, но они, по-моему, уши нам трут. И поэтому я твердо знаю, что я практически не менялся лет с 12-14, и все, что я чувствовал тогда, я чувствую и сейчас, просто какие-то органы чувств уже устали чувствовать, но они продолжают это чувствовать. Но я, безусловно, больше знаю и больше хочу.*

*Это интересно. Потому что с возрастом обычно желаний становится все меньше и меньше. Они сильнее, но их меньше. Их разнообразие меньше.*

*Желаний выпить или поесть, конечно, стало меньше.*

*А то, что называется алчба?*

*Но вот по отношению к музыке все такая же алчба. Когда я слушаю, как устроены какие-нибудь произведения Баха, у меня чешутся руки взять и начать это разбирать, подумать, почему же мы такие примитивные, потому что примитивизм нашей музыки меня пугал всегда. Потому что примитивнее, тупее и проще сделать, чем "Аквариум", уже просто невозможно.*

*Все-таки можно... Открываются заманчивые перспективы...*

*Но даже когда я слушаю музыку не самых моих любимых композиторов, какую-нибудь этническую или что-то еще, я все время думаю, как много того, что мы еще не пробовали. Поэтому желаний у меня становится еще больше.*

*Давайте, очень ненадолго, но перейдем к духовным сферам. Мы в разговоре упомянули буддизм, у вас, особенно в 90-е годы, в песнях была масса всевозможных отсылок - и буддистских, и православных, и других. Это для вас эстетический прием?*

*Я просто пишу о том, что находится вокруг меня - самым простым образом. Если я все время вижу церкви, то, так или иначе, церковная тематика и церковный словарь не могут не попасть в песни. Потому что я все время, каждый день это вижу.*

*Вы их видите, потому что вы их хотите видеть. Люди довольно часто ходят в городах, где много церквей, и не видят их.*

*Безусловно. Я в Непале, скажем, встречался с людьми, которые искренне не могли понять, зачем я еду в такую страну, где даже нет супермаркетов. О том, что в странах может быть что-то, кроме супермаркетов, они не были осведомлены. Поэтому и буддийские аллюзии, и христианские, и любые другие естественным образом попадают в песни. При этом я, естественно, понимаю внутри, что от меня этого ждуют, и приходится как-то этому противодействовать. Поэтому в большей части, насколько я помню буддийские отсылки, они всегда в немножко юмористической форме, потому что люди от меня этого так долго ждали, что вот, получите. "Читатель ждет уж рифмы "розы", на вот, возьми ее скорей". Так же у меня все остальное.*

*При этом вы серьезно относитесь к буддизму, вы переводите книжки, издаете.*

*У меня нет другого пути. Я серьезно отношусь ко всему, что для меня является самым важным плодом существования человечества. Религиозное мышление, безусловно, является самым важным. Это то, что учит нас, как стать самими собой и, более того, получать еще удовольствие в процессе. Никакая другая наука нас этому не учит. Религия - это наука человеческого счастья, строго говоря. Хотя, конечно, трактуют ее часто не так, но, на самом деле, речь идет именно об этом.*

*Но когда вы соотносите себя с буддизмом, когда вы переводите буддийские тексты, когда вы их издаете, вы относитесь к ним как внешний наблюдатель или изнутри? Где ваша позиция?*

*Я не стал бы переводить, если бы я не знал этого изнутри.*

*Знали просто как Знание, или потому, что вы это хорошо знаете, вы много читали, много ездили?*

*Как Знание. Есть огромное количество переводчиков, которые без меня это могут перевести. Но когда я увидел кучи томов по буддизму, где явно пишет или переводит человек, который знает термины, но не очень хорошо представляет содержание этих терминов или, по крайней мере, не доносит этого до читателя. То же самое, как с "Упанишадами". Мне пришлось перевести "Катха Упанишаду", когда я прочитал пять переводов на русский язык, из которых было ясно, что человек не знает, что он переводит. Если ты переводил трактат о том, как работать с магнитофоном, нужно знать магнитофон, по крайней мере, и донести до человека, что нужно нажать такую-то кнопку... А когда эти термины человеку неизвестны, он просто переводит, не зная, что это значит, ему сложно работать...*

*Довольно сложно требовать от советского востоковеда знания работы магнитофона под названием "индуизм" или "буддизм".*

*Я думаю, что, может быть, и сложно, но необходимо. Потому что от любого специалиста нужно требовать, чтобы он объяснил то, чем он занимается, чтобы он мог объяснить десятилетнему ребенку, и ребенок бы это понял. Если он не может объяснить, значит, он очень плохой специалист.*

*Аппендикс к последнему тому нашего разговора, так сказать, приложение. Тема - любопытная, я имею в виду, так называемые, высокие технологии, интернет. Вы часто говорите, что вы не против, чтобы ваши альбомы и песни скачивали, вы против копирайта на музыкальные произведения.*

*Все еще проще. Я, вообще, не против ничего. Мне лень быть против чего-либо. Есть люди, которые покупают альбомы - отлично. Есть люди, которые скачивают альбомы - отлично. Мне важно, чтобы люди, которые хотят услышать нашу музыку, имели возможность ее слушать. В какой форме это будет делаться, мне глубоко безразлично. Запись музыки в России - дело убыточное. Когда мы что-то записываем, мы записываем это в ущерб себе, поэтому никакого вознаграждения за это я и не жду, и Бог с ним.*

*И последний вопрос, неизбежный в любом такого рода разговоре: над чем вы сейчас работаете?*

*Самое прекрасное, что я могу с чистой совестью ответить: ни над чем. Потому что после записи "Бродяги" получилось так, что мы решили взять и поиграть концерты и, в конце концов, попробовать, возможно ли, в современных условиях, не исполнять записанную музыку, а играть музыку, взять эти песни и попытаться сделать так, чтобы всем шестерым людям на сцене было интересно их играть. То есть, могут ли эти песни жить сами по себе, без точного копирования, нота за нотой, того, что мы записали. Год мы этим занимаемся, поэтому на год я взял себе паузу от творчества: год я не пишу песни, год мы играем и смотрим, что получится, к чему это приведет.*

*То есть, на верстаке у вас нового альбома нет?  
Нет. По счастью. Свободный человек.*

### «Послезавтра»

Много лет назад  
В тени чужих мостовых  
Я увидел тебя и подумал:  
Как редко встречаешь своих  
Как оно было тогда —  
Так оно и есть...  
Сегодня я прощаюсь,  
Послезавтра я опять буду здесь

Я учусь у Луны;  
Я сам себе господин  
Кто бы ни был со мной,  
Я всё равно изначально один  
Я вышел из пламени,  
Отсюда вся моя спесь  
Но если я прощаюсь,  
Послезавтра я опять буду здесь

Если буря смочит город —  
Ну, извини!  
Я был в обиде на тебя,  
Моё сердце было в тени  
Через стены этой гордости  
Не так легко перелезть —  
Но если я прощаюсь,  
Послезавтра я опять буду здесь

У меня плохая память  
И омерзительный нрав  
Я не могу принять сторону,  
Я не знаю никого, кто не прав  
Но в мире есть что-то,  
Чего не выпить, не съесть  
И если что-то не так,  
То послезавтра я опять буду здесь

Никого внизу  
И никого наверху  
Я бы соврал,

Если бы сказал, что я в курсе —  
Но Бог не ангел;  
Он просто такой, как он есть;  
И если я прощаюсь,  
Послезавтра я опять буду здесь,  
Сегодня я прощаюсь,  
Послезавтра я опять буду здесь

### «Поезд в огне»

Полковник Васин приехал на фронт  
Со своей молодой женой  
Полковник Васин созвал свой полк  
И сказал им: Пойдём домой!  
Мы ведем войну уже семьдесят лет,  
Нас учили, что жизнь — это бой,  
Но по новым данным разведки  
Мы воевали сами с собой

Я видел генералов,  
Они пьют и едят нашу смерть, их дети сходят с ума  
От того, что им нечего больше хотеть  
А земля лежит в ржавчине,  
Церкви смешали с золой  
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,  
Время вернуться домой

Этот поезд в огне,  
И нам не на что больше жать  
Этот поезд в огне,  
И нам некуда больше бежать  
Эта земля была нашей,  
Пока мы не увязли в борьбе,  
Она умрет, если будет ничьей —  
Пора вернуть эту землю себе

А кругом горят факелы,  
Это сбор всех погибших частей  
И люди, стрелявшие в наших отцов,  
Строят планы на наших детей  
Нас рожали под звуки маршей,  
Нас пугали тюрьмой  
Но хватит ползать на брюхе —  
Мы уже возвратились домой

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЁС

Долгая память хуже, чем сифилис,  
Особенно в узком кругу.  
Такой вакханалии воспоминаний  
Не пожелать и врагу.  
И стареющий юноша в поисках кайфа  
Лелеет в зрачках своих вечный вопрос,

И поливает вином, и откуда-то сбоку  
С прицельным вниманьем глядит электрический пес.

И мы несем свою вахту в прокуренной кухне,  
В шляпах из перьев и трусах из свинца,  
И если кто-то издох от удушья,  
То отряд не заметил потери бойца.  
И сплоченность рядов есть свидетельство дружбы -  
Или страха сделать свой собственный шаг.  
И над кухней-замком возвышенно реет  
Похожий на плавки и пахнувший плесенью флаг.

И у каждого здесь есть излюбленный метод  
Приводить в движение сияющий прах.  
Гитаристы лелеют свои фотоснимки,  
А поэты торчат на чужих номерах.  
Но сами давно звонят лишь друг другу,  
Обсуждая, насколько прекрасен наш круг.  
А этот пес вгрызается в стены  
В вечном поиске новых и ласковых рук.

Но женщины - те, что могли быть, как сестры, -  
Красят ядом рабочую плоскость ногтей,  
И во всем, что движется, видят соперниц,  
Хотя уверяют, что видят блядей.  
И от таких проявлений любви к своим ближним  
Мне становится страшно за рассудок и нрав.  
Но этот пес не чужд парадоксов:  
Он влюблен в этих женщин,  
И с его точки зренья он прав.

Потому что другие здесь не вдохновляют  
Ни на жизнь, ни на смерть, ни на несколько  
строк;  
И один с изумлением смотрит на Запад,  
А другой с восторгом глядит на Восток.  
И каждый уже десять лет учит роли,  
О которых лет десять как стоит забыть.  
А этот пес смеется над нами:  
Он не занят вопросом, каким и зачем ему быть.

У этой песни нет конца и начала,  
Но есть эпитафия - несколько фраз:  
Мы выросли в поле такого напряжения,  
Где любое устройство сгорает на раз.  
И, логически мысля, сей пес невозможен -  
Но он жив, как не снилось и нам, мудрецам.  
И друзья меня спросят: "О ком эта песня?"  
И я отвечу загадочно: "Ах, если б я знал это сам..."

**ВСЁ, ЧТО Я ХОЧУ**

Все, что я пел - упражнения в любви  
Того, у кого за спиной  
Всегда был дом.  
Но сегодня я один  
За праздничным столом;  
Я желаю счастья  
Каждой двери,  
Захлопнутой за мной.

Я никогда не хотел хотеть тебя  
Так,  
Но сейчас мне светло,  
Как будто я знал, куда иду.  
И сегодня днем моя комната - клетка,  
В которой нет тебя...  
Ты знаешь, что я имею в виду.

Все, что я хочу;  
Все, что я хочу,  
Это ты.

Я пел о том, что знал.  
Я что-то знал;  
Но, Господи, я не помню, каким я был тогда.  
Я говорил люблю, пока мне не скажут *нет*;  
И когда мне говорили *нет*,  
Я не верил и ждал, что скажут *да*,  
И проснувшись сегодня, мне было так странно знать,  
Что мы лежим, разделенные, как друзья;

Но я не терплю слова *друзья*,  
Я не терплю слова *любовь*,  
Я не терплю слова *всегда*,  
Я не терплю слов.

Мне не нужно слов, чтобы сказать тебе, что ты -  
Это все, что я хочу...

## **РУССКАЯ НИРВАНА**

На чем ты медитируешь, подруга светлых дней?  
Какую мантру дашь душе измученной моей?  
Горят кресты горячие на куполах церквей -  
И с ними мы в согласии, внедряя в жизнь У Вэй.

Сай Рам, отец наш батюшка; Кармапа - свет души;  
Ой, ламы линии Кагью - до чего ж вы хороши!  
Я сяду в лотос поутру посереде Кремля  
И вздрогнет просветленная сырая мать-земля.

На что мне жемчуг с золотом, на что мне art nouveau;  
Мне кроме просветления не нужно ничего.

Мандала с махамудрою мне светят свысока -  
Ой, Волга, Волга-матушка, буддийская река!

## **ПОЙ, ПОЙ ЛИРА**

*Б.Гребенищikov - А.Гуницкий*

Пой, пой, лира;  
Пой о том, как полмира  
Мне она подарила - а потом прогнала;  
Пой, пой, лира,  
О том, как на улице Мира  
В меня попала мортира - а потом умерла.

Пой, пой, лира,  
О глупостях древнего мира,  
О бешеном члене сатира и тщете его ремесла;  
Пой, пой, лира,  
О возгласах "майна" и "вира",  
О парусных волнах эфира и скрипе сухого весла.

Говорят, трижды три - двенадцать;  
Я не верю про это, но все ж  
Я с мечтой не хочу расставаться,  
Пусть моя экзистенция - ложь;  
Там вдали - ипподром Нагасаки,  
Где бессмысленно блеет коза;  
Все на свете - загадка и враки,  
А над нами бушует гроза.

Пой, пой, лира,  
О тайнах тройного кефира,  
О бездуховности клира и первой любви козла;  
Пой, пой, лира,  
О том, как с вершины Памира  
Она принесла мне кумира, а меня унесла.

Пой, пой, пой...  
Пой - и подохни, лира!

## **МОСКОВСКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ**

Вперед, вперед, плешивые стада;  
Дети полка и внуки саркофага -  
Сплотимся гордо вокруг родного флага,  
И пусть кипит утекшая вода.

Застыл чугун над буйной головой,  
Упал в бурьян корабль без капитана...  
Ну, что ж ты спишь - проснись, проснись, охрана;  
А то мне в душу влезет половой.

Сошел на нет всегда бухой отряд  
И, как на грех, разведка перемерла;  
Покрылись мхом штыки, болты и сверла -  
А в небе бабы голые летят.

На их грудях блестит французский крем;  
Они снуют с бесстыдством крокодила...  
Гори, гори, мое паникадило,  
А то они склюют меня совсем.

## Виктор Цой

### Об авторе:

**Виктор Цой: "Хочу быть самим собой"**  
(интервью украинскому радио (май 1990 года)<sup>121</sup>

*Виктор, твоя последняя работа называется "Звезда По Имени Солнце". Зная, что ты очень много, в отличие от "попсовых" групп, вкладываешь в названия, тексты песен, хочу спросить: название альбома - намек на себя или на что-то неопределенное? Скорее, на неопределенное, чем на себя. Хотя... Не знаю.*

*А сам лично можешь назвать себя "звездой", все-таки ты собираешь стадионы, и я бы не сказал, что Виктор Цой не популярен. Твой прогноз: сколько просияешь на небосклоне?*

*Не знаю, не думал над этим. Я не считаю, что это главное - всеобщая популярность. Я, конечно, очень рад, что сейчас КИНО собирает такие залы, но, в принципе, все это не было самоцелью. Для нас важно было играть ту музыку, которая нам нравится, и мы будем ее играть, даже если она будет нравиться меньшему количеству людей. Я не прогнозирую успех. Меня это не интересует. Меня интересуют песни.*

*Такой вопрос: тот образ, который ты создал на экране (фильмы "Асса", "Игла"), как соотносится с реальным Виктором Цоем?*

*Я ничего особенного не создавал, не пытался залезть в чужую шкуру. Вел себя так, как хотел и как вел бы себя в таких обстоятельствах. И занялся этим, потому что мне было интересно.*

*(Вопрос не сохранился) А когда совершенно недавно предлагали сниматься в роли Маугли в каком-то мюзикле - знаешь, может, это и остроумно, но идея этого мюзикла была совершенно, мягко скажем, не та, что хотелось бы...*

*В таком случае, какой образ в кино тебе близок, кого хочешь сыграть?*

*Нет, в том-то и дело, что ничего не хотел сыграть. Я хочу быть самим собой везде - и на киноэкране, и на концерте, понимаешь? Для меня важнее всего сохранить самоуважение и свободу, которая у меня есть сейчас. Но сохранить очень трудно. Нужно все время бороться.*

*(Вопрос не сохранился) И, если вопрос станет так, что я вынужден буду играть музыку, которую не хочу играть, но которая будет нравиться людям, было бы нечестно ее играть, правда?*

*Сейчас утверждают, что советская рок-музыка переживает кризис. Не боишься, что в скором времени ты, Виктор Цой, окажешься не у дел?*

*У нас слишком долго рок-музыка была под запретом, и когда стало возможным ходить на рок-концерт, любая рок-команда собирает зал. А когда появился выбор, то люди, естественно, пошли на другое. Это совершенно нормально. А относительно "не у дел" - думаю, нам это не грозит. Даже если буду в тюрьме и у меня будет шестиструнная*

121 <http://vitya-tsoy.narod.ru/inter.html#08>

гитара, я уже не окажусь не у дел - ведь я буду продолжать заниматься своим делом. Мне все равно, где играть...

Очень долгое время ты был как бы вне нашей системы. А теперь потихонечку вверчиваешься, что ли. Какие "плюсы и минусы" в этом есть?

Совершенно не вписываюсь... Что касается музыкальной системы, то мы все равно стоим особняком, хотя, если раньше мы были подпольной группой, то сейчас нас так уже назвать нельзя.

(Вопрос не сохранился)

Я никогда не считал популярность самоцелью, с одной стороны, а с другой - никогда не считал, что нужно искусственно создавать какие-то препятствия между собой и публикой. Поэтому, очень хорошо, что мы играем концерты, на которые может прийти любой человек.

Если бы тебе была предоставлена возможность в самые тягостные дни в настоящем перенестись в прошлое - куда бы ты предпочел попасть и почему?

Не знаю, как-то не думал на эту тему. И потом, я очень философски отношусь к неприятностям и считаю, что их просто надо переждать - и все образуется.

У меня создалось такое впечатление, что ты по натуре фаталист?

Может быть, я не занимаюсь самоанализом. Я такой, как есть - и все.

Твой самый большой враг из людей, из человеческих пороков, в самом тебе?

Вот уж не знаю... Не возьмусь судить, что является для человека пороком, что недостатком, а что достоинством. В конце концов, единого мнения на этот счет не бывает. Поэтому я считаю, что человек таков, каков он есть. Хорош он или плох - а судьбы кто?

Допустим, лет через "надцать" ажиотаж вокруг группы КИНО спадет, а тебе придется зарабатывать деньги, чтобы кормить семью... Ты уверен, что сможешь решить эту проблему?

Я не думаю о будущем. Я просто знаю, когда вопрос такой встанет, как-нибудь его решу. А пока не стоит, что о нем думать?

Несколько блиц-вопросов в стиле журнала "Браво": любимый цвет, наверное, черный, да? Конечно.

Любимое блюдо?

Не знаю...

Любимые цветы?

Розы.

Любимая футбольная команда?

Нет такой.

Любимый вид спорта?

Ну, довольно много видов спорта, связанных с восточными единоборствами

Любимое время года?

Лето...

Любимая западная группа?

Не знаю, нет такой, вот чтобы прямо любимая. А остальные все - нелюбимые.

Виктор, и последний вопрос... Заветная мечта группы PINK FLOYD - полететь в космос.

Какая заветная мечта группы КИНО?

(надолго задумавшись, словно что-то предчувствуя): Не знаю, наверное, тоже в космос...

### **Интервью бюллетеню "Новый фильм" (Алма-Ата)**

-Виктор, с чего началось ваше увлечение музыкой?

-Конечно, с гитары. Я не избег общей участи мальчишек моего возраста, схваченных желанием овладеть столь престижным в те годы инструментом. Мне было четырнадцать лет, и занимался я тогда в художественном училище, но постепенно, как ни странно, бесперспективное занятие рок-музыкой взяло верх. Я бросил свои

живописные начинания и стал писать песни. Мечтал собрать музыкантов и создать группу. В 1982 году руководитель "Аквариума" Борис Гребенщиков послушал мои песни, они ему понравились, и он помог записать первый магнитофонный альбом, который очень быстро из рук в руки разошелся по всей стране.

-Стала ли ваша группа теперь профессиональной?

-Пока нет. Но в скором времени, возможно, произойдут изменения. Сейчас, когда многие коллективы переходят на новую систему хозяйствования, мы могли бы ездить с концертами по стране, иметь, допустим, свой счет в банке. Хотя теперь практически мы можем играть почти все, что хотим, а музыка для нас всегда была основным делом. Правда, оно не давало средств к материальному существованию, поэтому все мы еще где-то работали, я, например, в кочегарке. Занятие это довольно распространенное среди самодеятельных музыкантов, дающее немного денег, но много свободного времени.

-Всякое творчество, и ваше в том числе, - способ выражения мироощущения, миропонимания...

-У меня есть свои жизненные принципы, основываясь на которых я пишу об окружающей меня жизни, о волнующих проблемах. Важно лишь быть не тем или другим, а только самим собой. Пусть для кого-то странным, смешным, неприемлемым, а для кого-то замечательным, но только собою. А рок-музыка для меня, так же, как и для огромной массы молодежи, совершенно естественная и органичная форма самовыражения. В ней нет ничего конъюнктурного, заказного. Только ты, твоя совесть - твой главный критик и цензор. И эту позицию не надо афишировать на каждом углу. Ее нужно просто реализовать, воплотить в песне. Как показало время, появилось не случайное поветрие моды, а социальное явление - современная музыка. Причем, как мне кажется, с довольно-таки размытыми жанровыми границами. Я, например, часто выступаю и как автор-исполнитель. Вообще для меня есть просто песня. Можно ее петь одному под гитару, можно группой, можно - в сопровождении оркестра из трехсот человек. Это неважно...

-Как вы пишете свои песни?

-Беру гитару, начинаю играть. Складывается стихотворный размер, потом строчки начинают обрастать фразами. И наоборот...

-Почему до сих пор есть противники рок-музыки?

-Новое всегда находится в конфликте со старым. Это естественно. Ироничный, иногда агрессивный, искренний и свободный самодеятельный рок никогда не был фальшивым. Противопоставление его духовной глухоте, бездарности, скуке, благополучному мироощущению обывателей и послужило, вероятно, , причиной неприязни многих к року. Самодеятельные группы не имели возможности приобрести дорогостоящую технику, инструменты, записываться в специальных студиях, но пели то, что думали, честно и бескомпромиссно. Конечно, можно ругать ребят за серьги в ушах, заклепки, цепи, причудливые прически. Но если разобраться, эти внешние проявления вызваны протестом против традиционного мышления, образа жизни, культуры. Насколько я знаю свою аудиторию, там плохих людей не больше, чем в любой другой. А молодые музыканты вовсе не разрушители или хулиганы от искусства, а скорее его хранители. Ведь в сложное время, во многом лживое и циничное, именно они сумели сберечь в своем искусстве радость живой жизни, индивидуальность, неприятие конформизма, протест против псевдоценностей.

-А как вы пришли в кино?

-Пригласили. Сначала в Киев на музыкальный фильм "Конец каникул". В нем участвовала вся наша группа. Сыграл там главную роль и написал пять песен, затем появился Рашид, и была работа о ленинградском роке - фильм "Йя-хха!". Снялся также у Соловьева в "Ассе" и в фильме Алексея Учителя "Семь нот для размышлений", тоже о рок-музыке.

-Рашид почему вы остановили свой выбор именно на Викторе? (Это уже вопрос режиссеру Нугманову)

*-Собственно, выбора и не было. Как только прочитал сценарий, понял, что это должен играть только Виктор. И не потому, что он единственный выразитель самочувствия современной молодежи или хотел воспользоваться модным имиджем популярного рок-музыканта, чтобы обеспечить успех фильму. Он нужен мне прежде всего как личность, талантливый человек. Нас связывают давняя дружба и взаимопонимание, поэтому творческих разногласий в процессе работы не возникает. Мы много беседуем, обсуждаем и в результате, как правило, приходим к единому решению. Система работы, которую мы предпочитаем, предполагает большую долю импровизации, и благодаря Виктору часто находится неожиданный подтекст, нюанс, иное решение сцены. Этим фильмом мы не иллюстрируем свое мировоззрение, свои идеи, а хотим попытаться вместе со зрителями понять этот мир.*

*-Виктор, поете ли вы в этом фильме?*

*-В кадре - нет. Но, видимо, напишу несколько песен для фильма. Я достаточно давно играю и пою и примерно знаю реакцию зала на ту или иную песню, а вот попробовать себя в совершенно другом качестве и попытаться добиться желаемого весьма заманчиво. В последние годы получается так, что я постоянно занят в съемках, заканчивается одна картина и тут же начинается другая.*

*-Не будет ли кино доминировать в вашем творчестве?*

*-Не думаю. Потому что противник перевоплощения. Главное, оставаться самим собой, а это невозможно для профессионального актера. Хотя трудно загадывать наперед. Мне кажется, кино и музыка, дополняя друг друга, могут сосуществовать в моей жизни.  
Март 1988 г.*

## Алюминиевые огурцы

Здравствуйте, девочки,  
Здравствуйте, мальчики,  
Смотрите на меня в окно  
И мне кидайте свои пальчики, да-а

Ведь я сажаю алюминиевые огурцы, а-а  
На брезентовом поле.

Три чукотских мудреца  
Твердят, твердят мне без конца:  
"Металл не принесёт плода,  
Игра не стоит свеч, а результат - труда",

Но я сажаю алюминиевые огурцы, а-а  
На брезентовом поле.

Злое белое колено  
Пытается меня достать,  
Колом колено колет вены  
В надежд тайну разгадать,

Зачем я сажаю алюминиевые огурцы, а-а  
На брезентовом поле.

Кнопки, скрепки, клёпки,  
Дырки, булки, вилки,  
Здесь тракторы пройдут мои  
И упадут в копилку, упадут туда,

Где я сажаю алюминиевые огурцы, а-а  
На брезентовом поле.

## Жизнь в стеклах

Темные улицы тянут меня к себе,  
Я люблю этот город, как женщину "X".  
На улицах люди, и каждый идет один,  
Я закрываю дверь, я иду вниз.

Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь,  
Жизнь в стеклах витрин.  
Я растворяюсь в стеклах витрин,  
Жизнь в стеклах витрин.

И вот я иду, и рядом со мной идут,  
Я смотрю на них, мне кажется, это - дом мод.  
Похоже, что прошлой ночью был звездопад,  
Но звезды, как камни, упали в наш огород.

Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь,  
Жизнь в стеклах витрин.  
Я растворяюсь в стеклах витрин,  
Жизнь в стеклах витрин.

Ветер задувает полы моего плаща,  
Еще один дом, и ты увидишь меня.  
Искры моей сигареты летят в темноту,  
Ты сегодня будешь королевой дня.

Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь,  
Жизнь в стеклах витрин.  
Я растворяюсь в стеклах витрин,  
Жизнь в стеклах витрин.

## Транквилизатор

Я выхожу из парадной, раскрываю свой зонт.  
Я выхожу под поток атмосферных осадков.  
Я понимаю, что это капризы природы.  
Мне даже нравится чем-то эта погода.  
У-у, транквилизатор...

Метеоролог сказал, дождь будет недолго.  
Я разобрал весь приемник, как опытный практик.  
Ты понимаешь, что мне было трудно сдержаться  
Мне даже нравится этот, такой мой характер.  
У-у, транквилизатор...

Я начинаю свой путь к остановке трамвая.  
Я закрываю свой зонт, я - экспериментатор.

Вот проезжает трамвай, вот гремит, удаляясь.  
Я направляюсь домой, я улыбаюсь.  
У-у, транквилизатор...

Камни врезаются в окна, как молнии Индры.  
Я нахожу это дело довольно забавным.  
Ты понимаешь, что мне было нужно развлечься.  
Мне надо чем-то лечить душевные травмы.  
У-у, транквилизатор...

## Дальше действовать будем мы

Мы хотим видеть дальше, чем окна дома напротив,  
Мы хотим жить, мы живучи, как кошки.  
И вот мы пришли заявить о своих правах: "Да!"  
Слышишь шелест плащей - это мы...

Дальше действовать будем мы!  
Дальше действовать будем мы!

Мы родились в тесных квартирах новых районов,  
Мы потеряли невинность в боях за любовь.  
Нам уже стали тесны одежды,  
Сшитые вами для нас одежды,  
И вот мы пришли сказать вам о том, что дальше...

Дальше действовать будем мы!  
Дальше действовать будем мы!

## Муравейник

Начинается новый день  
И машины туда-сюда...  
Раз уж солнцу вставать не лень,  
И для нас, значит, ерунда.

Муравейник живет,  
Кто-то лапку сломал - не в счет,  
А до свадьбы заживет,  
А помрет - так помрет...

Я не люблю, когда мне врут,  
Но от правды я тоже устал,  
Я пытался найти приют,  
Говорят, что плохо искал.

И я не знаю, каков процент  
Сумасшедших на данный час,  
Но, если верить глазам и ушам -  
Больше в несколько раз...

И мы могли бы вести войну  
Против тех, кто против нас,  
Так как те, кто против тех, кто против нас,

Не справляются с ними без нас.

Наше будущее - туман,  
В нашем прошлом - то ад, то рай,  
Наши деньги не лезут в карман,  
Вот и утро - вставай!

Я не люблю, когда мне врут,  
Но от правды я тоже устал,  
Я пытался найти приют,  
Говорят, что плохо искал.

И я не знаю, каков процент  
Сумасшедших на данный час,  
Но, если верить глазам и ушам -  
Больше в несколько раз...

## Константин Кинчев

### Об авторе:

*Музыкант Константин Кинчев: «Я вообще спорный персонаж. Меня многие не любят».*<sup>122</sup>

*Через месяц один из самых харизматичных отечественных рок-мудрецов Константин Евгеньевич Панфилов, на сцене выступающий под фамилией своего болгарского дедушки Кинчев, доберется до собственного «полтинника». Однако, отмечать рубиконную дату лидер «Алисы» и его команда начали уже сейчас. В минувшую субботу «алисоманы» вся Руси собрались на мощный, почти трехчасовой сейшен любимой группы в нехилых размерах питерском СКК, а 30 ноября действие повторится в столичном «Олимпийском». В преддверии концерта с солидным названием «25 в «Алисе», 35 в рок-н-ролле, 50 на земле», Костя Кинчев, которого и касаются все эти цифры, посидел за чашечкой кофе с обозревателем «Известий» Михаилом Марголисом.*

*- Насколько я знаю, юбилейные концерты ты наметил довольно давно?*

*- Еще в декабре прошлого года. Правда, сначала я не очень представлял их концепцию, а когда подобрались цифры – 50, 35, 25, понял, что программа будет ретроспективной. По такому случаю пришлось оживить песни, которые я не играл достаточно давно и для прикола спеть то из старого репертуара, что на сцене вообще никогда не исполнялось. Речь, конечно, о теме из альбома «Нервная ночь», записанного мной еще до прихода в «Алису».*

*- Ради ретроспективы и такого количества круглых дат можно было пригласить на эти концерты экс-музыкантов «Алисы», того же Андрея Шаталина, Михаила Нефедова, Святослава Задерия и твоих компаньонов по «Нервной ночи» - Андрея Заблудовского, Алексея Мурашова?*

*- Эгоистическое во мне возобладало и я сделал акцент на себе любимом, на собственном «полтиннике», а не на группе. Таким образом, совершенно спокойно можно выступить без приглашенных. Это же такая головная боль – всех разом собрать в одном месте. А в составе «Алисы» играло очень много людей. Обойдемся нынешним составом, у которого тоже свой юбилей – мы вместе пять лет, как раз в декабре 2003го и собрались.*

*- Ревнивые скажут, что ты приватизировал «Алису»...*

*- Да, Кинчев приватизировал «Алису». Он, вообще, такой спорный персонаж. Его многие не любят.*

*- Можешь приблизительно представить, какова сегодня численность твоей «армии»? Она сопоставима с сообществами футбольных фанатов?*

---

122 <http://www.alisa.net/prensa.php?action=2008&disk=press278>

- Когда мы устраиваем для поклонников интернет-голосования, какие песни спеть на «концерте по заявкам», то за песню, замыкающую первую двадцатку, подается порядка 50 тысяч голосов (опрос длится месяц). Вот тебе статистика для ориентира. Летом в Белград на наше выступление прилетел самолет с фанатами, а это порядка 300 человек. На поездах, по стране, за нами выезжает еще больше народу, так что с какими-то футбольными фан-группировками, армия «Алисы», наверное, сопоставима, если говорить только о «выездных», не учитывая слушателей «на местах»

- Постоянные файер-шоу, сопровождающие сейшены «Алисы», на юбилейном концерте и подавно ожидаемы, но, ведь, в «Олимпийском» это категорически запрещено и может произойти ситуация по типу той, что возникла на вашем выступлении в столичном клубе «Б1», когда завязалась нешуточная потасовка между охранниками заведения и «алисоманами». Ты попробуешь пообщаться на данную тему перед выступлением с секьюрити «Олимпийского» и милицией?

- Постараюсь, конечно, поговорить. Но, думаю, охрана, в любом случае, скажет жесткое «нет», а потом получится так, будто я эти файер-шоу и иницирую. Это не так. Я подобные акции не приветствую, но и не порицаю. Это данность наших концертов. В Питере ОМОН считает, что «Алиса» своей жизнью заслужила право на подобные истории, во всяком случае, они говорили так фанам, то ли «Психеи», то ли еще кого-то, которых сильно «прессовали» за файер-шоу. Те спросили: а как же «алисоманы»? И им ответили: «Алиса» это заслужила. Алисаманам, можно». Видимо, это действительно так, потому, что в СКК, по отзывам зрителей, и количеству фаеров, не обыскивали вообще. И не прессовали, естественно. Спасибо охране за понимание «специфики региона» =)

- Итак, с охраной «Олимпийского» ты, предположим, не договариваешься, а в ходе концерта все же вспыхивают фанатские факелы и повторяется ситуация с «Б1». Что тогда?

- Что и обычно – останавливаю концерт, взываю к разуму правоохранительных органов и уважаемой публики. Пытаюсь достучаться до сознания поклонников, в том смысле, что коль вот так, жестко реагируют охранники на их «перформанс», то, может, не стоит его устраивать? Вот мы недавно сыграли во Дворце спорта в Минске, после пятилетнего перерыва, связанного с инцидентом в том зале. Тогда фанаты там тоже устроили файер-шоу и нескольких из, после столкновения с милицией, просто арестовали. Пришлось их вытаскивать, задействовав такие рычаги, о каких я и не помышлял. Мы ходили на прием к Пал Палычу Бородину и просили, чтобы он вмешался в ситуацию. «Алисоманам» там, вроде, по «пятерке» хотели влечь за сопротивление властям. Потом выпустили. Спасибо, Бородину за понимание и участие. В этот раз в Минске ничего не поджигали, но наши поклонники принесли в зал пятиметровую растяжку с надписью: «здесь могли быть файера».

- Давай, докрутим данную тему. Представь, началось в «Олимпийском» файер-шоу, пошла заваруха, ты к сознанию всех кого надо обратился, а страсти не утихают. В таком случае, как поступишь?

- Сяду на край сцены, буду ждать, когда это все закончится. Или нервно буду ходить по сцене. Или уж совсем скандал – завершить на этом концерт и уйти. Надеюсь, что до этого не дойдет. Не хочу уходить со сцены в день нашего праздника. И надеюсь, что все пройдет нормально.

- Ждешь государственных наград к своему 50-летию, какие уже имеют твои коллеги по цеху?

- Не задумываюсь по этому поводу. Наградят – спасибо. Нет – тоже хорошо. Меня, наверное, награждать рискованно. Чиновники могут рассуждать так: сегодня мы ему медаль дадим, а завтра он, того гляди, ее вернет, а это – негативный резонанс. Был же в моей биографии такой прецедент. Так что вряд ли кто-то станет рисковать.

- Шевчук провел стадионную акцию «Не стреляй!», выразив, тем самым, свою позицию по отношению к последним политическим событиям в стране. И не раз в тот момент звучал вопрос: а, где же все остальные наши рокеры?

- Я мировоззренчески был не согласен с этой акцией. Считаю, что свою позицию я выразил в первые же часы обострения ситуации на Кавказе, на страницах собственного сайта, где подчеркнул, что полностью поддерживаю действия российского руководства по оказанию братской помощи осетинскому народу, который, в принципе, мог исчезнуть, как этнос, если бы наше государство ему не помогло. Вот, если бы наше правительство этого не сделало, я бы возмутился, и, возможно, тогда провел какую-нибудь акцию.

- Ну, а как же твой лозунг: нет войне, даешь рок-н-ролл?

- Я за мир во всем мире. Но когда этот мир начинают попирать, нужно его как-то отстаивать.

- То есть ты продолжаешь свою линию, начатую концертом солидарности с сербами в Белграде?

- Абсолютно. Я очень последователен. Меня во многом можно упрекнуть, многое предъявить, за исключением моей непоследовательности. Я стараюсь идти прямо, не выхляя. А акция Шевчука для меня выглядела мероприятием с какой-то размытой или популистской позицией. «Не стреляй!»... В кого не стреляй, к кому это обращено? Не стреляй, в смысле, не помогай, что ли, не спасай, не протягивай руку помощи?

- Но с другой стороны, какая же она популистская, если Шевчук очевидно покусьвал нынешний режим, выражал позицию не пропагандируемую сегодня государственными СМИ, то есть, делал явно не то, за что мог бы оказаться «в шоколаде»?

- Я тебя умоляю! Чем рискует Шевчук? Ты, действительно, всерьез полагаешь, что на него начнутся какие-то гонения? Да, он только того и ждет, чтобы сейчас «ДДТ» начали закрывать, притеснять. Это же даст ему колоссальный импульс для написания новых песен. Потому что у него «хищная муза», ему нужно постоянно находиться в гуще проблемных ситуаций, чтобы ее питать. Он заложник своей музыки, и я могу по-человечески пожалеть Юрия Юлиановича.

- Это мне сейчас говорит человек, двадцать лет назад записавший стенобитный альбом «БлокАда»! А ты нынче, стало быть, просветленный?

- Да брось, ты! Какой я просветленный! Во мне говна – выше бровей. Другое дело, что я обращаю на этот факт внимание и стараюсь с ним как-то справиться.

- Почему ты тогда продолжаешь, как мне кажется, упорно сторониться своей мягкой, весьма удачной, акустической лирики? На концертах «Алисы», даже на нынешнем, юбилейном, не звучат «Театр» и «Республика» из альбома «Для тех, кто свалился с луны», полностью игнорируется альбом «Джаз»?

- Многие из песен, не исполняемых нами на концертах я, тем не менее, люблю. А вот «Джаз» не люблю до сих пор. Он для меня, как бы, детская игрушка. Все включенные в него песни я написал еще в «доалисовский» период. Я отдал этим альбомом дань своей юности и забыл о нем. Он просто удачно получился благодаря Шатлу (Андрей Шаталин – «Известия»), Пете Самойлову, Шилклоперу, Рыженко, Руше Аюпову, Сереге Воронову, благодаря тонкости музыкантов работавших над этой пластинкой. Они сделали удачную, камерную работу. Но, ты не представляешь, как я мучился, когда был вынужден исполнять эти песни на сцене. После выхода «Джаза», вроде как, надо было играть концерты в его поддержку. И полгода в первом отделении мы представляли этот альбом. Как же меня не перло! Я, вообще, акустические сейшены не люблю играть. У меня складывается ощущение, что в этот момент я вру своей уважаемой публике. Типа, сижу вот на сцене, хочу по легкому денег срубить. Если бы я сейчас сосредоточился на «Джазе» то стал бы очень востребован, и косил бы «капусту» по корпоративам. А к «БлокАде» я, по-прежнему, тепло отношусь. Мы постоянно включаем, что-нибудь из нее в концертную программу. Вот поедем на Украину – споем «Время менять имена». Опять возвращаюсь к Шевчуку. Стоило ему ездить на эти «оранжевые» баррикады? Сколько времени прошло и что? Лидеры той революции сейчас друг у друга сало тащат...

- Итак, порывы Шевчука – тщетны, «оранжевая революция» - фигня, акция «Не стреляй» - популистская, альбом «Джаз» - не прет. Тогда простой, как шпала, вопрос, чем ты сейчас можешь, всерьез, восторгаться?

- Восторг – очень сильное чувство. Я тебе сейчас, вот так, навскидку, не скажу, чем в последний раз восторгался. Сложно это сделать. Хотя... Я был поражен и с восторгом воспринял фильм Скорсезе «Да будет свет» о «роллингах». Там в каждом кадре заметна колоссальная любовь и уважение к этим исполнителям. И как живо все сделано! Такая «сырая» история, вроде бы, постоянно что-то «не в фокусе», тут полголовы в кадре, там, какой-то брак, звук репортажного качества, но как передается атмосфера действия! И я поэтому, наверное, откажусь от телесъемок нашего юбилейного концерта. Сложностей с этим процессом – масса, а свет, который выставляет телевидение, меня дико ломает. Им нужна яркая картинка, как в шоу «Ты - суперстар» или «Песне года». Такой у них ГОСТ. А я вот смотрю на концерты Nine Inch Nails и все там в полумраке, и почему-то мне нравится. Значит, так можно. Но у нас это не проходит.

- И что, вообще, не будет видеоверсии этой юбилейной программы?

- Не будет. А зачем? Я отношусь к концерту, как к чуду, таинству. Это ближе к театру. Другие пусть себя фиксируют на пленке, а я создаю легенду.

- Однако, тебе, Костя, вот-вот шестой десяток пойдет. К акустике тебя не тянет, а в той сценической форме, что ты избрал, сохраняться все сложнее...

- Я смотрю на Мика Джаггера, Игги Попа и, понимаю, что все возможно... Пока здоровье будет позволять, я буду скакать по сцене, как захочу, в рубашке или без, в шортах, в гриме и т.п.

- «Алисовский» трибьют к юбилею ты делать не стал, но зато занялся пластинкой Рикошета...

- Да, мне это важно. Ради этого проекта я задвинул свой альбом. Займусь им после. Мне это важно по-пацански. Хочу показать людям недооцененного, и, к сожалению, уже ушедшего от нас художника и, вроде как, получается интересно. Известные приглашенные исполнители, под аккомпанемент «Алисы» поют рикошетовские вещи, музыкально максимально приближенно к оригиналу.

- Что должно произойти, чтобы сейчас получился еще один объединительный рок-проект, на подобие акции 90-х «Все это рок-н-ролл»?

- Чтобы в рок-среде появилось единство - необходимо гонение. Однако, думаю, у власти хватит ума, чтобы гонений не было.

- Школьный вопрос: как ты провел лето?

- Недавно вернулся зимовать в Москву из деревни на стыке Новгородской и Псковской областей, где и находился большую часть лета. Будь моя воля, жил бы там круглый год, но щажу жену Сашу. У нас там в доме комфорт недостаточный – удобства во дворе, вода – в колодце, одна теплая комната и кухня, остальное все холодное. Хотя мне нравятся города. Люблю и Москву, и Петербург, но легче и понятнее мне живется в деревне. И если говорить о рабочем пространстве, то у меня там есть баня на берегу озера, а на втором этаже студия и там я никому не мешаю. А в городе я вынужден ютиться в одной комнате с телевизором, Сашиным Интернетом и прочим.

- По случаю собственного 50-летия, ты, может быть, после длительной паузы, наконец, выпьешь что-нибудь алкогольное?

- Я где-то уже с полгода, наверное, позволяю себе немножко выпивать. Очень дозировано. Начало получаться. Раньше не получалось, поэтому и боялся. Как только один раз не получится и сорвусь так, что напьюсь в муку – завяжу опять.

- Группа преподнесет тебе какой-нибудь подарок к юбилею?

- Думаю, положат в конверт 50 тысяч рублей. У нас в «Алисе» в этом году сразу у нескольких человек отмечали 50-летие и мы поздравляем друг друга именно так. А вот Романову (гитарист «Алисы» - «Известия») исполнилось 55, так ему соответственно и положили на 5 тысяч больше.

Михаил Марголис («Известия»)

## На Пороге Неба

Черным бархатом накрыла ночь,  
Да запутала в туманах день,  
Лишь лукавая луна  
От седого валуна  
Наводила тени на плетень.

Звезды падали огнем небес,  
Превращаясь в языки костров.

Ночь в приделе сентября,  
И только чуткая заря  
Искрой пряталась в охапке дров.

По реке стелился Млечный путь.  
Горизонтом становилась высь.  
Август. Полночь. Ни души,  
Лишь вода да камыши  
Облакам на преданность клялись.

Я метался в поисках себя  
По полянам от росы седым.  
То ли ядом жгла луна,  
То ли я дошел до дна,  
То ли лето закатилось в дым.

На пороге неба  
До высокой звезды  
В полночь рукою подать.  
На пороге неба  
Верным ставят кресты,  
Так им легче дышать.  
На пороге неба,  
По пропащим скорбя,  
Крестится сила и мощь.  
На пороге неба  
Ты услышишь меня  
Там, где рождается дождь.

Как ночное путал синий лес  
Хороводами трухлявых пней  
Помнит черная река,  
Заливные берега,  
Да табун стреноженных коней.

Мне не спится, сердце давит грудь,  
Подстрекая душу напролом.  
Слезы уголками глаз.  
Ночь да Яблоневый Спас  
Потихоньку вводят осень в дом.

### **Инок, Воин и Шут**

Благослови на войну,  
Дом сохрани и спаси.  
Так собирались в поход  
Ратные люди Руси.

Так, от начала времен,  
Солдату дана благодать,  
С Богом надежнее жить,

С Богом легко умирать.

След звезды пылит по дорогам,  
На душе покой и тихая грусть.  
Испокон веков граничит с Богом  
Моя Светлая Русь.

Сколько раздоров и смут  
Ведала Родина-мать,  
Как нас хотели согнуть,  
Как нас пытались ломать.

Сколько шакалов и псов  
Скаются с разных сторон  
На золото наших хлебов,  
На золото наших икон.

Что собирали отцы,  
Нас научили беречь -  
Вера родной стороны,  
Песня, молитва да меч.

Так от корней повелось,  
Ратную службу несут,  
Всяк на своем рубеже,  
Инок, воин да шут.

### **Без Креста**

Крутояр да лесная река  
Помнят дым станových костровищ.  
Как столбили одно на века,  
Да гнушались поденщины тыщ.  
Знали сладкой полынь-лебеду,  
Словно зори, перечили снам.  
Вероломных учили по льду,  
Да секли кочевых по полям.

Серым бархатом кутал туман,  
Млечный путь по озерам топил,  
Когда ширил края атаман  
От Урала до Южных Курил.  
Разгоняли по облаку хмарь  
Над землей, что собрали в одно.  
На восток поднимали алтарь,  
Да рубили на запад окно.

А нынче злоба да спесь,  
Каждый сам себе брат.  
Нас, как прелую взвесь,  
Половодье дробит в пережат.  
И память путает хмель

Трын-травой, как с куста.  
И только смерть все ведет параллель  
В жизнь без креста.

Каждый третий не мертв и не жив,  
Каждый пятый по подвигам зверь.  
Не достроив и недолубив,  
Лбами долбим закрытую дверь.  
Причитаем да долю клянем:  
"Что нам делать, и кто виноват?",  
По пожару все пляшем с огнем,  
Поджигая вокруг все подряд.

Там где злоба да спесь,  
Каждый сам себе брат.  
Нас, как прелую взвесь,  
Половодье дробит в пережат.  
И память путает хмель  
Трын-травой, как с куста.  
И только смерть все ведет параллель  
В жизнь без креста.

### Лодка

Пели дождь и ручей всю ночь  
Заунывную песнь свою.  
А наутро ветер подул  
И, наверно, спугнул луну.  
Как печален, печален мир...  
Словно осень, моя тоска,  
Мне бы чистой воды испить  
Из прозрачного родника...  
Я вокруг стены обошел.  
Это путь в три десятка ли,  
И увидел везде-везде  
Краски яркие отцвели.  
Только заросли тростника  
Разлились, как море, кругом.  
Я плыву на лодке, а она  
Белым кажется лепестком...  
Я в пути, и нет у меня  
Никаких тревог и забот.  
Одинокая лодка моя,  
Рассекая волну, плывет.  
В тростнике густом рыбака  
Еле-еле шляпа видна,  
И заметна из-под нее  
Белых-белых волос копна.  
Я хочу поближе подплыть,  
Поздороваться с ним - да как?  
Только чаек зря напугал -  
Седовласый исчез рыбак.

Ветер жизнь в природу вдохнул,  
И во все, что в природе есть,  
И во все, что дано любить, -  
А всего нам, увы, не счесть!  
Я ушел, а ветер с ладьей  
Продолжали спор вдалеке.  
Отражение облаков  
Растворилось в бурной реке.  
Я в пути, и нет у меня  
Никаких тревог и забот.  
Одинокая лодка моя,  
Рассекая волну, плывет.

## Сумерки

Думы мои - сумерки,  
Думы - пролёт окна,  
Душу мою мутную  
Вылакали почти до дна.  
Пейте-гуляйте, вороны,  
Нынче ваш день.  
Нынче тело, да на все четыре стороны  
Отпускает тень.  
Вольному - воля,  
Спасённому - боль.  
Вот он я, смотри Господи,  
И ересь моя вся со мной.  
Посреди грязи - алмазные россыпи.  
Глазами в облака, да в трясины ногой.  
Кровью запекаемся на золоте,  
Ищем у воды прощенья небес.  
А черти, знай, мутят воду в омуте  
И, стало быть, ангелы где-то здесь.  
Вольному - воля,  
Спасённому - боль.  
Но в комнатах воздух приторный,  
То ли молимся, то ли блюем.  
Купола в России кроют корытами,  
Чтобы реже вспоминалось о Нём.  
А мы все продираемся к радуге  
Мёртвыми лесами да хлябью болот.  
По краям да по самым по окраинам.  
И куда ещё нас бес занесет?  
Вольному - воля,  
Спасённому - боль.  
Но только цепи золотые уже порваны,  
Радости тебе, солнце мое!  
Мы такие чистые да гордые,  
Пели о душе, да всё плевали в нее.  
Но наши отряды, ух, отборные.  
И те, что нас любят, все смотрят нам вслед.  
Да только глядь на образа, а лики-то чёрные.

И обратной дороги нет!  
Вольному - воля,  
Спасённому - боль.

## Константин Никольский

### Об авторе:

*Интервью Константина Никольского: «Это не популярность, это – уважение»*

Версия для печати [Отправить статью другу](#)

Знаменитый музыкант не дает интервью, не пьет и не верит в рок-братство

Фото Владимира Ларионова

Фото Владимира Ларионова

Никольский, конечно, постарел. Но голос и чувство юмора у легендарного музыканта по-прежнему на высоте. Два часа акустического концерта пролетели как пять минут. Соло Игоря Кожина, гитара и голос Константина Никольского звучали так, что других инструментов было уже не нужно. Интервью музыкант не дает, зато охотно отвечает на записки из зала, чем мы и воспользовались.

«Почему вы не даете интервью?»

- Братцы, я не даю интервью, потому что мне интересно общаться, когда вы все вместе, здесь, и у нас такая живая атмосфера, творческий вечер, словом. А когда один человек тебя мучает... Мне 60 лет, ну какое там интервью? Смешно же.

«В ваших песнях много печали и грусти, а по жизни вы оптимист?»

- Ну ты спросил! Откуда, по-твоему, песни-то такие? Нет, я посмеяться люблю, особенно в хорошей компании. Не выпиваю уже три года, а все равно люблю. Раньше смеялся в пьяной компании, а сейчас смеюсь над теми, кто пьет. Ну, дураки же полные! Уже хватит, ребята, трезвейте потихоньку. Вас же поджидают со всех сторон, гадость суют, притом за ваши же деньги.

«Откройте секрет свой популярности».

- Если речь о том, что сегодня здесь полный зал, – это не популярность, это уже в разряде уважения. Популярность – это когда куча бестолкового народа пляшет и поет. Одни открывают рот, другие танцуют. У нас с вами все по-другому.

«Ваш концерт называется «От любви к любви», а у вас в жизни была настоящая любовь?»

- Конечно! Вот про нее как раз песня «Мой друг художник и поэт». Была у меня большая любовь, высокие чувства. Потом она уехала в Америку, не виделась пять лет. Потом встретились, а она - в какой-то одежде непонятной, маловыразительной, на мой взгляд. И все, все остановилось, ничего не стало. «Моя любовь сменила цвет». Сейчас звонит, спрашивает: «Ты помнишь? ...» Я говорю: «Конечно, помню».

«Есть ли у вас семья? Как вам нравится Северодвинск?»

- Семья есть. Уже взрослая совсем. Дочке Юленьке 26 лет, прекрасно поет, учится играть на гитаре. Мы с ней еще дадим шороху! А Северодвинск мне нравится, мне вообще нравится природа, не такая расфуфыристая, как на юге, а скромная. Очень красивая осень здесь. Возраст, что ли, у меня такой, каждой осенью прямо наслаждаюсь.

«Можно ли услышать песню «Мой друг художник и поэт» в полном формате? Там красивейшая соло-партия в конце».

- Братцы, ну вот в данном случае нельзя, могу только напеть мелодию. Которую, кстати, потом Максим Дунаевский спер для своей песни «Осенний лист». Мы тогда вместе с ним работали в ансамбле «Фестиваль». Как-то в компании, естественно, выпившей, Дунаевский мне говорит: «Вот, сочинил новую песню». И поет: «Кленовый лист, кленовый лист». А я говорю: «Постой, тут надо вот так играть». И показываю. А он мне: «Что это?» Я отвечаю: «Ну что же ты, это очень известное соло».

*А однажды Максим говорит мне: «Костя, у тебя такие песни замечательные, ты мог бы греметь на всю страну!» Я в ответ: «Да я и так гремлю потихонечку. Но, Максим, я – человек из хорошей, но простой семьи, а ты сразу родился членом союза композиторов. Стартовые условия разные, поэтому ты можешь писать что угодно, а я должен писать только хорошо».*

*«Как вы видите будущее России в свете грядущих замен президентов и премьеров?»*

*- Не вижу я будущего России, да и России самой... Но не будем о грустном, а то уйдем сейчас в такие глубины. Все хорошо. У них. Да, кстати, поздравляю всех с днем рождения нашего премьера, мало ли чего.*

*«Верите ли вы в любовь?»*

*- А как же! Любовь – это первое дело. Как говорил Роман Андреевич Карцев, «Нам только давай, если, конечно, красивая женщина». Да и вообще, все от любви исходит. Это вон те, про которых раньше спросили, они этого не понимают.*

*«Верите ли вы в русский рок сегодня? Сохранилось ли что-то от рок-братства 80-х?»*

*- Ха-ха. А вы-то верите сами? Не было никакого братства. Панибратство – было. Братство вообще опасная вещь, во главе его обычно стоит старший брат, который указывает, что делать. Вот этого опасайтесь.*

*Да и вообще, в русском роке послушать-то мало чего можно, это только мое мнение. Ехали сегодня из Архангельска, слушали одну рок-радиостанцию. Ну ничего путного. То, что ты играешь рок, не оправдывает низкого качества музыки и стихов. Надо стараться, надо учиться. Вот слышите, как Игорь Кожин играет? Это вам не какая-нибудь «Машина времени», это настоящий блюзовый гитарист.*

*«Как пишутся стихи и песни? Легко ли находятся слова? Откуда берутся идеи?»*

*- Пишутся песни по-разному, иногда легко, иногда сложно. А берутся из души. Идеи... В моих песнях нет идей, есть переживания. Есть такое стихотворение – «Я сам из тех, кто спрятался за дверь». Когда его читаю, такое впечатление, что это не я писал. Или, к примеру, песня «Прошедший день» написана по своей же фотографии. Я выступал в 80-е годы в театре эстрады, выступал один, садился на спинку стула – дико неудобно, и пел. При этом у меня было такое страдальческое лицо, мол, я себе верю, и публика тоже верила. И вот я смотрю на эту фотографию – человек со страдальческим лицом, с гитарой. И о чем, думаю, он поет? И написал песню.*

*«Константин, в вас столько энергии, где же новый альбом? Мы заждались».*

*- Уже? В 2007 году вышел альбом, а вы уже заждались? Насчет энергии – не знаю, это, скорее, не энергия, а содержание. Когда содержание созреет, вот тогда будет альбом. Песни-то для нового альбома есть, в том числе очень старые, написанные в году в 85-м, но неизвестные.*

*«Пригласите танцевать!»*

*- Ну вот будет у нас один шейк – выходите на сцену, пожалуйста. Думаю, мы все получим удовольствие.*

*«Вы согласны с тем, что настоящая культура в России сегодня в большой беде?»*

*- Давно уже, да и нет ее, культуры-то. Есть какие-то отдельные люди, которые эту культуру хранят, но их все меньше и меньше и все тяжелее хранить. Деньги за хранение уже начинают брать, мне это горько и странно.*

*«Константин, вы верующий человек?»*

*- Я думаю, что каждый человек верующий. Другое дело – кто во что верит. Я верю в какие-то силы, влияющие на нашу жизнь. Сделаешь нехорошее дело, и оно к тебе вернется обязательно – вот в это я верю.*

*Записал Ильдар ХАБИБУЛЛИН*

## **"Музыкант"**

Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант

Расправил нервною рукой на шее чёрный бант

Подойди скорей поближе, чтобы лучше слышать  
Если ты ещё не слишком пьян  
О несчастных и счастливых, о добре и зле  
О лютой ненависти и святой любви  
Что творится, что творилось на твоей земле  
Всё в этой музыке ты только улови

Вокруг тебя шумят дела, бегут твои года  
Зачем явился ты на свет - ты помнил не всегда  
Звуки скрипки всё живое  
Скрытое в тебе разбудят  
Если ты ещё не слишком пьян  
О несчастных и счастливых, о добре и зле  
О лютой ненависти и святой любви  
Что творится, что творилось на твоей земле  
Всё в этой музыке ты только улови

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх  
Устал скрипач, хлебнул вина, лишь горечь на губах  
И ушел, не попрощавшись, позабыв немой футляр  
Словно был старик сегодня пьян  
А мелодия осталась ветерком в листве  
Среди людского шума еле уловима  
О несчастных и счастливых, о добре и зле  
О лютой ненависти и святой любви

### **"Мой друг художник и поэт"**

Мой друг художник и поэт в дождливый вечер на стекле  
Мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле  
Сидел я, молча у окна и наслаждался тишиной  
Моя любовь с тех пор всегда была со мной

И время как вода текло  
И было мне всегда тепло  
Когда в дождливый вечер  
Я, смотрел в оконное стекло  
Но год за годом я встречал  
В глазах любви моей печаль  
Дождливой скуки тусклый свет  
И вот любовь сменила цвет

Моя любовь сменила цвет, угас чудесный яркий день  
Мою любовь ночная укрывает тень  
Веселых красок болтовня, игра волшебного огня  
Моя любовь уже не радует меня

Поблекли нежные тона  
Исчезла высь и глубина  
И четких линий больше нет  
Вот безразличия портрет  
Глаза в глаза любовь глядит  
А я не весел, не сердит

Бесцветных снов покой земной  
Молчаньем делится со мной

И вдохновенное лицо утратит добрые черты  
Моя любовь умрет во мне в конце концов  
И капли грустного дождя струится будут по стеклу  
Моя любовь не слышно плачет уходя

И радугу прошедших дней  
Застелит пыль грядущих лет  
И так же потеряют цвет  
Воспоминания о ней  
Рисунок тает на стекле  
Его спасти надежды нет  
Но как же мне раскрасить вновь  
В цвет радости мою любовь

А может быть разбить окно  
И окунуться в мир иной  
Где солнечный рисуя свет  
Живет художник и поэт...

### **"Кто виноват"**

Кто виноват, что ты устал,  
Что не нашел, чего ты ждал.  
Все потерял, что так искал,  
Поднялся в небо и упал.  
Еще не знал, что день за днем  
Уходит жизнь чужим путем.  
И одиноким стал твой дом.  
И пусто за твоим окном.

И меркнет свет. И молкнут звуки,  
И новые муки ищут руки.  
И если боль твоя стихает,  
Значит будет новая беда.

Кто виноват, скажи-ка, брат,  
Один - женат, второй - богат.  
Один смешен, другой - умен,  
Один дурак, другой - твой враг.  
И в чем вина, что там и тут  
Друг друга ждут и тем живут.  
Но долг день и ночь пуста,  
Забиты теплые места.

Кто виноват и в чем секрет,  
Что горя нет и счастья нет.  
Без поражений нет побед.  
И равен счет, чтоб дать тебе.  
И в чем вина, что ты один,  
И жизнь одна и так бледна,

И так скучна, а ты все ждешь,  
Что ты когда-нибудь умрешь.

### **"Я сам из тех..."**

Я сам из тех, кто спрятался за дверь,  
Кто мог идти, но дальше не идет  
Кто мог сказать,  
Но только молча ждет  
Кто духом пал и ни во что не верит

Моя душа беззвучно слезы льет,  
Я песню спел она не прозвучала  
Устал я петь, мне не начать сначала,  
Не сделать новый шаг  
И не смотреть вперед

Я тот, чей разум прошлым лишь живет,  
Я тот, чей голос глух и потому,  
К сверкающим вершинам не зовет  
Я добрый, но добра  
Не сделал никому

Я птица слабая, мне тяжело лететь,  
Я тот, кто перед смертью еле дышит  
Но как не трудно мне об этом петь,  
Я все-таки пою  
Ведь кто-нибудь услышит

### **Я Вспоминаю Временами**

Я вспоминаю временами  
Всех тех, кто сделал мир сильнее,  
Кто гордой песни вынес знамя  
На горизонты наших дней,  
И кто б ту песню ни обидел,  
Как ни теснил, ей душу зля,  
Просторна ей ее обитель --  
Людской любви моя земля.

Одни слова в мечту играют,  
Другие живы той мечтой,  
Одни надежды умирают,  
Другие снова рвутся в бой.  
На горло петлю натяните, --  
Как песне ни туга петля, --  
Просторна ей ее обитель,  
Людской любви моя земля.

Пусть нет уж с нами тех скитальцев,  
Чья жизнь иным не по нутру,  
Пусть не коснутся больше пальцы  
Неукрошенных смертью струн.

На время песня не в обиде,  
Назло земным календарям  
Просторна вечная обитель,  
Как ветру вольные поля  
Людских надежд, людских событий,  
Людской любви моя земля.

Тому, кто жил, как пел, -- без фальши  
Среди огней, среди теней,  
Тому, кто видел много дальше,  
Чем горизонты наших дней,  
Тому, кто в скорби и обиде  
8 нас песней веру в жизнь вселял,  
Просторна вечная обитель,  
Как ветру вольные поля,  
Людских надежд; людских событий,  
Людской любви моя земля.

### Пред Чертой

Пред чертой меж будущим и прошлым,  
Где предстанет всяк по одному,  
Все святое может стать пошлым,  
Все простое сложным непонятно почему.  
Годами радости и горя  
Мы идеалам возводили пьедестал,  
Но то ли не хватило воли,  
Иль время потеряли в споре, -  
Года спели -- ты устал, и я устал.  
Не потому ль мы всем довольны?  
Душа в безделье так пуста.

Не сбежать из замкнутого круга,  
В одиночку бед не превозмочь,  
Обвиняя в слабости друг друга,  
Не пытались мы друг другу чем-нибудь помочь.  
Бесплодны начинаний муки,  
И недоверье между ними как стена,  
Твое лицо свело от скуки,  
И не поет моя струна,  
И лишь в объятьях ностальгического сна  
Нам новых слов послушны звуки  
И новых песен музыка слышна.

Много лет понадобится может,  
Чтоб понять, что жизнь всего одна,  
И для тех, кто в небе крылья сложит,  
Вмиг смертельной станет поднебесья глубина.  
Узнает каждый, что он стоит,  
Что в мире вечно, что развеет время в прах,  
Что сложное, а что простое,  
Что пошлое, а что святое,

Но только тот докажет, что не на словах  
Своей мечты был сам достоин,  
Кто крыльев знал тугой размах.

## Эдмунд Шклярский

### Об авторе:

**ИНТЕРВЬЮ Эдмунда Шклярского специально для ТРК РиФ и Музыкальной Газеты  
ПроРок. от 10 марта 2004 года**

*Евгений Гаврилов: - Эдмунд, прошло уже почти пять лет, как вы приезжали на Алтай. Какие впечатления остались в памяти?*

*Эдмунд Шклярский: - Мы иногда освежаем память фотографиями. Они нам напоминают чуть ли не какие-то японские пейзажи: туманы и всё прочее. Мы до сих пор делимся впечатлениями от природы Алтая. Основное, конечно, природа. Река, перед которой написано "Купаться опасно для жизни", красота Алтайских гор.*

*Е.Г. - - Как у вас в группе родилась идея "виолончели"? Кто автор этого "инструмента"?*

*Э.Ш. - Моменты театрализации у нас всегда присутствовали. После альбома "Стекло" была песня "Глаза очерчены углём", и как-то так исподволь придумался такой ход. Тень виолончели чем-то напоминает человеческие очертания, особенно женские, поэтому мы решили приспособить для этой цели имеющихся в каждом городе барышень.*

*Е.Г. - - В каждом городе у вас новая барышня, новая "виолончель". Были забавные эпизоды, связанные с этим непостоянным "инструментом"?*

*Э.Ш. - Иногда думают, что там 220 вольт, и поэтому приходится объяснять, что неопасно, что идёт маленький сигнал. К счастью, у нас никто не падал. Мы объясняем элементарную технику безопасности: ничего сложного не надо делать, нужно только по определённому знаку выйти, честно отстоять и, желательно не споткнувшись о провода, уйти.*

*Е.Г. - Как в вашей группе появился танцующий шаман?*

*Э.Ш. - С 1995 года. Когда-то для питерских концертов мы привлекали танцовщицу. Она-то и привела своего знакомого. С ней мы давно уже не сотрудничаем, а вот он у нас остался: Как член коллектива, без которого мы уже чувствуем себя одиноко.*

*Е.Г. - Эдмунд, вы определили "Пикник" как облако, в котором можно различить черты, но само оно как-то расплывчато. Какие черты видит в этом "облаке" Эдмунд Шклярский?*

*Э.Ш. - Я тоже, как со стороны, вижу только очертания. Можно догадываться о чём-то. Например, облако - ветер его тормошит, и если оно минуту назад было похоже на проплывающего слона, то сейчас оно похоже на какое-то лицо. Мне кажется, от какого-то освещения, от настроения слушателя меняется музыка.*

*Е.Г. - В 1991 году вы участвовали с Сергеем Ворониным в пешем походе к Папе Римскому. Откуда эта идея? Был ли это результат "поиска истины"?*

*Э.Ш. - Дело тут не совсем в поиске истины. Это было время, когда стали закрываться все концертные организации и у нас было много свободного времени, а мы уже привыкли перемещаться в пространстве. Мы не мыслили себя, находясь в одном городе. Поэтому мы иногда ездили в разные концы страны: в Минск без всяких особых причин, что-то записывать и так далее:*

*Нам предложил пройти один знакомый, и хотя мы уже по возрасту не подходили, так как там шла одна молодёжь, нас как-то туда включили. Пошли Воронин, моя жена, ещё несколько знакомых. Мы около 5 дней шли пешком. А поскольку у меня католическое воспитание по рождению, мне это было достаточно близко и понятно - зачем я в общем-то иду.*

Мы дошли, потом жили в палатках несколько дней, ждали, когда поедет обратно. Когда мы вернулись, мы услышали по радио сообщение о событиях 1991 года: А через несколько дней состоялось выступление, когда мы сыграли концерт против танков на Дворцовой площади, тогда всё шло на убыль. А затем улетели в Анапу.

Е.Г. - Эдмунд, время вашего прихода с Александром Савельевым в "Пикник" - смена не только людей, но и музыки, лидера. Почему оставили название группы?

Эдмунд Шклярский: - Дело в том, что, как правило, музыканты, которые играют и сейчас, пересекались и многие из них играли в конкурирующих группах. Мы, играя в институте, очень часто пересекались с теми, с кем стали впоследствии играть. Жак (Евгений) Волощук, который был основным двигателем "Пикника", мы с ним пересекались несколько раз, расходясь в институте, учась в одном политехе. А потом из "Пикника" ушли все музыканты, кроме его и Алексея Добычина. В таких случаях приглашаются те, кого ты знаешь. Он пригласил меня на освободившееся место гитариста. И ещё нужен был какой-то репертуар. Поскольку его не было, я пригласил опять же знакомого Олега Бахтиярова, с которым у нас тоже были определённые музыкальные пристрастия, и Савельева, с которым мы тогда играли. Всё достаточно просто. Каждый приглашает своих знакомых.

А название - оно уже есть. Оно может потом даже несколько не соответствовать характеру. Скажем, рождается человек, его назвали вот так-то, а он, оказывается, совсем не похож на своё имя. И редко кто меняет имена.

Е.Г. - Ваш новый альбом называется "Тень вампира". До этого у вас были "Вампирские песни". Это попытка заставить слово вращаться после повторения или название связано с чем-то иным?

Э.Ш. - Раз постоянно идут постановки фильмов с одними и теми же названиями и одними и теми же сюжетами, то тема вампира постоянно окутана каким-то, как мне кажется, романтизмом. Там нет той пошлости, которая присутствует в иных жанрах. Скажем, сегодня появились одни представители, завтра другие, кругом пистолеты и всё прочее. В фильмах про вампиров присутствует какая-то романтика, любовь и некая атмосфера, которая завораживает. И режиссёров, и писателей, и музыкантов, к которым мы себя причисляем. Эта тема навеивает и на нас какие-то ощущения. Скорее, не в плане питья крови, а как существ, которые не похожи на других и вынуждены жить по своим законам. Они тянутся друг к другу и живут по своим правилам, пока не прокукарекает петух и не сверкнёт первый солнечный луч.

Е.Г. - Вы сказали, что "наш мир - перекрестие замкнутых человеческих миров. "Пикник" живёт в замкнутом мире". Замкнутость - это удел или можно что-то изменить в подобном ходе событий?

Э.Ш. - У человека своё пространство. Если я образую какой-то коллектив, то он приобретает какую-то коллективную судьбу. В этой лодке мы плывём по миру. Со своим определённым законом. Другое дело, что биологические законы не могут быть похожи. Как мне кажется, человек живёт по персональным законам. Причинно-следственно. Если человек что-то сделает, ему отвечает эхо. Но каждому эхо отражается совершенно по-разному. Законы экспериментальны и неприменимы как советы. Человек, который будет поступать по чьим-то советам, может получить совершенно иной результат. Каждый человек - эксперимент. По глобальным законам (не то, что он пошёл в магазин и купил батон или булку), по смыслу жизни он вынужден идти на ощупь по своей стезе.

Е.Г. - Год 1985 - год включения "Пикника" в запретный список. Что означало это в тот момент для группы?

Э.Ш. - В то время были киоски звукозаписи, благодаря которым первый альбом "Дым" разошёлся по стране. Потом название "Пикник" было изъято. Поскольку тиражировать было нельзя, то, скорее всего, это была если не блокада, то информационное перекрытие кислорода.

Е.Г. - И как вам удалось выстоять и не разбежаться?

Э.Ш. - Мы жили в городе и не знали, что делается в стране. На нас это мало влияло. Дело другое - группа "Трубный зов", лидера которой просто посадили за то, что они касались религиозной тематики, что было, похоже, более крамольно. Больше страдали зрители, потому что на концертах в рок-клубах почему-то делали облавы на зрителей. У них проверяли карманы, некоторых забирали в кутузку и т.д.

Е.Г. - У вас есть интересное замечание того, что качество своей музыки композитор определяет по телефону. У вас есть такой приём?

Э.Ш. - Это я говорил чужие слова. По телевизору выступал один из композиторов, который написал музыку для многих фильмов. Он говорил, что проверяет музыку на своих знакомых по телефону. Если до них доходит - хорошо, нормальная музыка. Скорее всего, в этом есть правда жизни. Если прятаться за хорошей аппаратурой, за эффектами и всем прочим, можно спрятаться глубоко, и слушатель не разберёт: что хорошо, а что плохо. Хуже нет качества, чем телефон, и если сквозь телефон прорывается - значит, это то, что нужно.

Е.Г. - А по какому показателю определяете вы, что находитесь на правильном пути?

Э.Ш. - Совместными усилиями со слушателями. На концерте мы проверяем - приживётся или не приживётся та или иная песня, особенно если она до этого не была записана и для слушателей она новая, то по реакции мы можем делать какие-то выводы.

Е.Г. - Вы всегда выступаете в тёмных очках, потому что вас "выбивает взгляд зрителя":

Э.Ш. - Я просто начинаю думать о другом, так же, как если бы я увидел дырку в полу и оттуда кто-то на меня посмотрел или светила лампочка непонятного цвета. Это начинает владеть тобой, и ты начинаешь думать уже совсем о другом. Взгляд меня заставлял бы думать не о песне, а о взгляде, о человеке, о лице и так далее.

Зрительный зал воспринимается мною как организм, так же, как и мы себя на сцене всё-таки преподносим не как отдельных людей-исполнителей, а тоже как некое целое. Вот эти два организма и общаются. Не надо делить и то, и другое на части.

Е.Г. - - Вами сказано: "Время революционных преобразований в музыке прошло, кончилось значение рок-музыки в головах людей как преобразующей силы общества". Эдмунд, что необходимо, чтобы музыка давала людям надежду?

Эдмунд Шклярский: - У каждого человека своё настроение. Если оно совпадает с тем, какой диск он ставит, и это ему помогает, то это очень хорошо. Рецептов нет. Почему я так сказал? Я жил в тот период, когда музыка занимала 90% времени, и мне жалко, что её "подвинули". Музыкант, который что-то играл, носил свою причёску, пиджаки, ботинки и всё прочее, и не фирмы становились законодателями каких-то мод, а сама жизнь диктовала, как одеваться и что слушать. И эти слова связаны с тоской по тем временам. Вернуть? Я не думаю, что есть способы возвращения.

Е.Г. - Эдмунд, вами любимый Лао-Цзы сказал: "Способное замечать незаметное называется ясность. Способность удерживать ускользающее называется сила". Какой способностью должен обладать музыкант, чтобы написать альбом в стиле группы "Пикник"?

Э.Ш. - Я не думаю, что надо кому-то писать что-то похожее. Если требуется оттолкнуться, чтобы найти себя, то это может и имеет какой-то смысл. Смысла же в подражательстве нет.

В основе любого творчества, хорошее оно или плохое, лежит какой-то дискомфорт. Вот когда человеку будет хорошо, ему незачем будет сочинять, рисовать, писать... Дискомфорт не связан с благосостоянием. Чего не хватало, например, Мэрилин Монро или Владимиру Маяковскому? Со стороны кажется, что у людей всё есть, а им чего-то не хватает. Когда есть внутренний дискомфорт, рождается творчество.

Е.Г. - Какая книга вам "попалась" в последнее время?

Э.Ш. - Я не скажу, что эта книга поменяла что-то в моём мировоззрении, но которую с удовольствием прочитал, - это "Парфюмер" Патрика Зюскинда.

*Е.Г. - А в музыкальном плане?*

*Э.Ш. - Я купил пластинку группы "Procol Harum", которая не записывалась очень долго. Лет 15-20. И с удовольствием сейчас слушаю.*

*Е.Г. - Совсем недавно вы давали концерт в барнаульской "Зебре". С чем связано подобное клубное выступление?*

*Э.Ш. - Этот концерт зависел не от нас. Мы путешествовали по Сибири, и по каким-то взаимовыгодным договорённостям нашему организатору было выгодно провести его там. Это был последний город в гастрольях. Хотя, по-моему, это был не совсем клуб. Этот концерт мало чем отличался по форме. Зал находился внутри музыкального училища.*

*Е.Г. - Ваша проза заканчивается разделом "Переплавленные". Без роду и племени. Рождающие электрические слова, разрывающие звенья цепи...*

*Э.Ш. - Есть такая фраза, достаточно непростая: "У каждого поколения должна быть своя война". Наверное, каждый человек должен переоценивать какие-то ценности. Иногда человеку кажется, что он всё знает: это так, а это так. В его жизни должно быть такое, чтобы почва из-под ног уходила. Заново рождённые ценности являются неким расплавлением, и человек расплавляется и становится каким-то другим. Не то, что новый человек, но он начинает более многогранно понимать мир. Не то, что есть черное и белое.*

*Е.Г. - Ваши пожелания поклонникам "Пикника" в городе Бийске Алтайского края?*

*Э.Ш. - У нас хранятся значки многих городов, в том числе и города Бийска. В вашем городе мы были уже дважды. И надеюсь, что мы приобретём третий значок.*

*Е.Г. - Если Бийск отметить в гастрольях три раза, то он станет "вращающимся словом":*

*Э.Ш. - - Да, и уже никуда не денешься. А для всех, кто любит нашу музыку, мы всегда готовы показывать на сцене чудеса не только музыкальные, но и извержение огня, и прочее.*

## **Ночь**

Ночь шуршит над головой как вампира черный плащ,  
Мы проходим стороной - эти игры не для нас.  
Пусть в объятьях темноты бьется кто-нибудь другой,  
Мы свободны и чисты, мы проходим стороной.

Вот и я до боли в ушах посмеяться не прочь  
Лишь пока светло в небесах, лишь пока не наступит ночь:

Вновь пиковый выпал туз из колоды старых карт,  
И опять идет подсчет, кто остался в дураках.  
Знает сломанный корабль: жизнь-река и надо плыть,  
Буйный ветер рассекать, тихий берег позабыть.

Ночь шуршит над головой как вампира черный плащ,  
Мы проходим стороной, эти игры не для нас.  
А пока у нас в груди тонкая не рвется нить,  
Можно солнцу гимны петь и о ночи позабыть.

Вот и я до боли в ушах посмеяться не прочь  
Лишь пока светло в небесах, лишь пока не наступит ночь

## **Театр абсурда**

Высоких и низких, леких и близких  
Далеких и близких иллюзий не строй  
И лоб свой напудри  
В театре абсурда  
В театре абсурда ты - главный герой

От себя куда деваться  
Бить себя в горячий лоб  
И по улицам шататься  
Как разбуженный циклоп

Не стены, а панцырь  
Лишь быстрые пальцы  
Лишь быстрые пальцы волнения не скроют  
Вот чудо, так чудо  
В театре абсурда  
В театре абсурда ты - главный герой

От себя куда деваться  
Бить себя в горячий лоб  
И по улицам шататься  
Как разбуженный циклоп

Ведь что-то да значит  
Раз зрители плачут  
Рыдают и плачут сраженные игрой  
Рви волосы-кудри  
И лоб свой напудри  
В театре абсурда ты главный герой

### **Опиумный дым**

Вьется опиумный дым,  
Старец станет молодым,  
Все покажется легко,  
За спиной мелькнет крыло.

Мир иллюзий, светлых грез,  
Словно свет погасших звезд,  
Хоть пройдешь весь мир, как крот,  
Все известно наперед.

Хочет дьявол за спиной твоей  
Э-ге-гей! Э-ге-гей!

Нестерпимый душит жар,  
Не кончается кошмар,  
Будь же небо к нам добрей,  
Страшно жить среди людей.

Хохочет дьявол за спиной твоей  
Э-ге-гей! Э-ге-гей!

И не слышен стук сердец,  
Кто живой, а кто мертвец,  
И опять замкнется круг,  
Птица выпорхнет из рук.

Хохочет дьявол за спиной твоей  
Э-ге-гей! Э-ге-гей!

## Караван

Родится рассвет над крышей,  
И ветер разгонит туман,  
И снова залают собаки,  
И дальше пойдет караван.

Кричит кто-то в ухо, что там впереди  
Есть родник прозрачный, туда и иди

Можно вечно бродить без цели,  
Если все время идти,  
Не задавая вопросов  
И не разбирая пути.

И найти однажды среди пустынь  
Утоление жажды в луже мутной воды

Ты идешь равнодушно  
Свой покой не нарушив,  
А куда и зачем - не понять,  
И тебе нет и дела,  
Что ушло, что сгорело  
И какую дорогу топтать.

Для тех кто крутые дороги  
Не променял на диван,  
Снова залают собаки,  
И дальше пойдет караван.

Кричит кто-то в ухо, что там впереди  
Есть родник прозрачный, туда и иди

Ты идешь равнодушно  
Свой покой не нарушив,  
А куда и зачем - не понять,  
И тебе нет и дела,  
Что ушло, что сгорело  
И какую дорогу топтать.

## **И летает голова то вверх, то вниз**

Обещали, что не будет тоски ,ни в жизнь  
Раскачали под ногами асфальт - держись  
И летает голова то вверх, то вниз  
Это вам не лезгинка, а твист.

Вот и бьем мы зеркала плеча  
Вот и пьем мы вино, как чай  
И летает голова то вверх, то вниз  
Это вам не лезгинка, а твист.

Может, этого я ждал всю жизнь  
Отворись Сим-сим, звезда зажгись!  
Пусть летает голова то вверх, то вниз  
Это вам, это вам...

Только, улице знаком закон другой  
Амулеты-пистолеты стерегут покой  
И летает голова то вверх, то вниз  
Это вам не лезгинка, а твист.

## **Королевство Кривых**

Огнями реклам  
Неоновых ламп  
Бьет город мне в спину, торопит меня  
А я не спешу  
Я этим дышу  
И то, что мое, ему не отнять

Минуту еще, мой ветер не стих  
Мне нравится здесь в Королевстве Кривых.

Здесь деньги не ждут,  
Когда их сожгут  
В их власти, дать счастье и счастье отнять  
Но только не мне  
Я сам по себе  
И темные улицы манят меня

Минуту еще, мой ветер не стих  
Мне нравится здесь в Королевстве Кривых.

Он занят игрой  
И каждый второй  
Да каждый второй замедляет свой шаг  
Но только не я  
Я весел и пьян  
Я только сейчас начинаю дышать

Минуту еще, мой ветер не стих  
Мне нравится здесь в Королевстве Кривых.

## Декаданс

Ты в плену босоногого танца,  
Тебе голову кружит мечта,  
Я последний певец декаданса,  
И от песни моей ты растаешь.

Говоришь: «Ничего не случится»,  
Если буду немного груб,  
Говоришь, и смола сочится  
В уголках потемневших губ.

Декаданс,  
Декаданс,  
Декаданс,  
Декаданс.

Как попали мы в переплетенье  
Судеб сломанных и цветов,  
Лучше так уж, чем в час цветенья -  
Жизнь, оставленная на потом.

И обманемся мы и поверим,  
Будто снова впадаем в транс,  
Будто снова открыты двери  
В мир по имени Декаданс

Декаданс,  
Декаданс,  
Декаданс,  
Декаданс.

И лицо ведь не спрячешь под маской,  
Все распахнуто, все наяву,  
Этот мир не похож на сказку,  
Но и в нем все равно живут

И запретное в сердце стучится,  
И пьянит, и ломает, и губит,  
Ты молчишь, лишь смола сочится  
В уголках потемневших губ.

Декаданс,  
Декаданс.

## Владимир Шинкарев

### **Об авторе:**

***«Шинкарев Владимир, художник и писатель». Интервью***

*-Володя, что за новая выставка, почему "Зима в Риме". Она тоже будет монохромная?*

- Монохромная – слишком сильно сказано. Да, несколько сдержаннее колорит, чем, скажем, у Дерена фовистского периода. Не в тропиках живем – в Петербурге. В картинах серии «Рим зимой» - тоже сдержанный колорит. Так получилось, что зима, которую я провел в Риме, по статистике оказалась самой дождливый с 1921 года, что и пришлось отразить в картинах. (Ну что поделаешь: на ловца и зверь бежит.)

- Володя, вот если тебе отрастить причёсочку, то ты смог бы сыграть Гоголя, у тебя гоголевская ухмылка в глазах. Вот в Гоголе было сочетание смеха и слёз. Ты начинал со смеха, а вот теперь от твоих картин веет слезами. Ты навсегда со смехом расстался, или затаил его?

- Подумав, я вспомнил немало своих картин, от которых веет слезами, даже от названий: «У сестренки украли сумку», «Кот объелся и лежит в цветах», «Коровушка заблудилась»... но это было довольно давно, в героический митьковский период. С тех пор мои картины стали куда спокойнее, хоть и драматичнее. Смеха меньше, да, но мне не кажется, что от них слезами веет. Это уж скорее Гоголя в позднем периоде творчества можно упрекать: не смешно, слезы одни...

-Когда я читала "Максим и Фёдор", то всё думала, откуда у хлопца испанская грусть, то бишь откуда на среднерусской равнине японские мотивы, лаконичность, созерцательность... Для тебя русский человек более всего похож на японца душой?

- Русский человек отзывчив, может и утопической, пассаистской Японией проникнуться всей душой посильнее, нежели реальные японцы – посмотри хоть на нашего друга Михаила Сапего. Но в «Максиме и Федоре» есть, например, и собственно «испанская грусть», то есть подражание средневековой испанской поэме «Песнь о моем Сиде» и много другого.

-Вова, как бы ты не отнекивался, но ты породил своим литературным даром Митьков. И пытался им же их убить. Я только что приехала из Коктебеля, в путеводителе по Крыму, изданном в 2010 году встретила фразу "тут любят отдыхать митьки -неформалы, тяготеющие к натуральному". Всё же миф о митьках живёт и крепнет уже за границей даже. Сколько места слово "митьки" занимает в твоём внутреннем монологе сегодня?

- Я и не отнекиваюсь вроде бы, породил. А то, что «пытался убить»... Это выражение – породил, убил – помнится, в данном контексте впервые употребил Александр Секацкий на пресс-конференции по поводу книги «Конец митьков». В целом мысль Секацкого была в том, что «митьки» - замечательная технология сопротивления, которой нечего противопоставить – митьки и так в говнище, что вы с меня еще возьмете? А для того, чтобы идея не испортилась и не сгнила – нужна хорошая концовка, жирная точка. Обрати внимание, я не от себя говорю, вот прямая цитата из Секацкого: «Идея уже пережила свое историческое акмэ. Формально люди, которые считаются митьками, могут до бесконечности предъявлять один и тот же бренд. Но дело в том, что от этого портится сама формула – она теряет свою внутреннюю убедительность. И предотвратить злоупотребление чрезвычайно важно для того, чтобы этот образ жизни, мысли, образ действия и письма, который сейчас, может быть, и не актуален, и не нужен, чтобы он был сохранен во всей своей экзистенциальной точности. А придет вдруг новый тоталитаризм – вот наготове она, технология экзистенциального сопротивления под ключ».

Ты, Ирина, вероятно, не согласна с этим, да и я считаю, что следующий раз нужно будет изобретать другую, новую «технология экзистенциального сопротивления». По-митьковски говоря: «через двадцать лет другие коммунисты ответят перед партией». («Зеркало для героя».) Митьки сделаны на один раз. Реальной группы художников «Митьки» в том смысле, в каком она существовала в 80-х годах, уже нет. Но мифические митьки, как и написано в «Конец митьков», «никогда не кончатся, не заболеют и не умрут». Вон, даже в Коктебель любят ездить отдыхать...

-Ездят не подлинники, а их клоны. Может быть грусть и суровость твоей живописи-это некое чувство вины за то, что ты породил? Всё же в митьках как мифологической породе людей есть много неприятного, главное- покорность перед восторгами бутылки. Может, ты чувствуешь вину за эстетизацию порока?

- Когда прямо в лоб спрашивают: а не стыдно, что породил митьков? А не стыдно, что потом пытался убить наших любимых митьков? А не потому ли у тебя такая мрачная и монохромная живопись, что ты чувствуешь, какой после этого гад? – трудно односложно поддакивать. Напомню, что все мои объяснения и расшифровки по поводу эстетизации порока и вообще митьков изложены в моей книге «Конец митьков», которую ты, хоть и не одобряешь, но прочитала.

-Ну, надо же иногда и в лоб спросить, чего юлить то. Может ты по ночам кошмары полосатые видишь... Ты правда считаешь, что цвет уходит из жизни? А нет ли у тебя желания организовать сопротивление этому явлению, в контру омерзительно серым российским городам?

- Интересный вопрос. Что есть цвет, что есть серость? Мне-то кажется, что мои картины не монохромные, а полны цветовых нюансов. Что серый цвет у Мане или Ватто – буйство цвета, а, например, картина «Клятва партизан» (виноват, не помню автора) с красными и разноцветными знаменами – абсолютно бесцветная, серая. Можно сказать, что российские города омерзительно серые, да – но при этом они переполнены кричащим, анилиновым цветом, рекламы и вывески хотят переорать друг друга резкостью и интенсивностью. Чувство цвета у людей в городах атрофируется, как атрофируется слух у переживших бомбежку. Естественный пепельный, жемчужный, перламутровый колорит Петербурга уже невозможно разглядеть. Мое сопротивление этому явлению и выражается в моей живописи, ставшей гораздо более сдержанной по цвету чем в 90-е, тем более в 80-е года.

-Всё же, как в тебе уживаются художник и писатель? Мирно или в борьбе пребывают? Или поочередно взывают?

-Ну, в тебе тоже ведь уживаются поэт и художник. Во мне, например, поочередно взывают. Или одному полушарию мозга – ответственному за употребление слов – энергию отдаешь, или другому – ответственному за пластические образы. Чтобы оба полушария полноценно работали, то есть писать картину, одновременно обдумывая прозу – даже не пробовал никогда, не моего ума это дело.

-А как складываются отношения с тельняшкой? Это твоя любимая одежда, или ты её порвал и пнул?

- Почему так навзрыд – или-или, по Кьеркегору? Чего мне ее рвать и пинать? Любимой одеждой тельняшка у меня не была никогда, это не повседневная, а парадная униформа митька, одевалась по торжественным случаям.

- Меня поразила книжка "Митьковские пляски", в которой ты филигранно и гениально создал опись танцевальных движений заматеревших и трезвых митьков. В мире, из которого ушёл народный натуральный национальный пляс от души, твоя книжка выглядит как нечто... Нечто ещё никем не понятое, но мучительно вызывающее. Ты сам любишь танцевать, и как ты танцуешь?

- Спасибо за комплимент, но сама опись – контаминация описаний русских плясок, так что не я её изобрел. Но ты права, «Митьковские пляски» - самая почвенная, традиционалистская часть книги «Митьки». Танцевать я люблю, частенько пускаюсь в пляс, занимаясь живописью. «Заратустра избавляется от духа тяжести танцуя» - далеко не пустые слова, их нужно понимать и буквально.

Увы, я застенчив и публично танцую только выпив как следует, что не случилось почти 20 лет. А раньше так плясал, что нередко соседи снизу милицию вызывали.

- Зима в Риме- это, наверное, очень изысканно прекрасно, а вообще какое твоё любимое время года в России? А какой город в мире ты считаешь самым красивым и близким душе?

- Зима любимое время года. Холодно, правда, сердце болит... Весна, наверное, хоть и «вонь, грязь», и как-то тревожно. Да все времена года необходимы в России. Вообще-то подобные вопросы – жестокая игра. Выбрав одно, ты принижаешь остальное. Но если уж категорически нужно выбирать, то осень, осень в самом красивом и близком душе городе – Ленинграде 70-х годов.

- Одна из самых восхитительных твоих картин- "Носферату". Она перекликается много с чем, для меня с рассказом Виктора Ерофеева "Жизнь с идиотом". Какова судьба этой картины, где она сейчас?

- А я и не читал «Жизнь с идиотом», только отрывки оперы видел. Картина эта, как и вся серия «Кино» сейчас в Швейцарии, в галерее Бруно Бишофбергера.

- Вообще, кто твои поклонники и покупатели твоих картин? Есть ли типические черты у этих людей?

- Раньше была четкая типическая черта. Поклонники моих картин были люди материально необеспеченные, небогатые. Покупатели, напротив, были людьми состоятельными. Сейчас уже не разобрать.

- Ну и вопрос тупой- над чем вы сейчас работаете?

- Картины пишу. Извини, подробнее рассказать не могу.

Интервью и фото Ирины Дудиной  
Ноябрь 2011

## **Митьки**

### **МИТЬКИ**

#### **I**

Ниже приводятся начала лексикона и правила поведения для нового массового молодежного движения вроде хиппи или панков. Участников движения предлагаю

называть митьками по имени основателя и классического образца - Дмитрия Шагина (однако образ последнего не исчерпывается содержанием движения).

Движение митьков обещает быть более органичным, нежели предшествующие названные движения: под митька почти невозможна подделка, не являясь им. Митьки одеваются во что попало, лучше всего в стиле битников пятидесятых годов, но ни в коем случае не попово.

На лице митька чередуются два аффективно поданных выражения: граничащая с идиотизмом ласковость и сентиментальное уныние. Все его движения и интонации хоть и очень ласковы, но энергичны, поэтому митек всегда кажется навеселе.

Вообще всякое жизненное проявление митька максимально выражено, так что употребляемое им слово или выражение может звучать как нечленораздельный рев, при этом лицо его остается таким же умильным.

Теоретически митек - высокоморальная личность, мировоззрение его тяготеет к формуле: "православие, самодержавие, народность". Однако на практике он настолько легкомыслен, что может показаться лишенным многих моральных устоев. Одна ко митек никогда не прибегает к насилию, не причиняет людям сознательного зла и абсолютно неагрессивен.

Митек никогда не выразит в глаза обидчику негодования или неудовольствия по поводу причиненного ему зла. Скорее он ласково, но горестно скажет: "Как же ты, братушка?...", однако за глаза он по поводу каждого высказанного ему упрека будет чуть ли не со слезами говорить, что его "свели с говном".

Наиболее употребляемые слова и выражения (на основе словарного запаса Дмитрия Шагина): ДЫК - слово, могущее заменить практически все слова и выражения. "Дык" с восклицательной интонацией заменяет слова "как", "что", "почему", "за что" и другие, но чаще служит обозначением упрека: мол, как же так? Почему же так обошлись с митьком? "Дык" с восклицательной интонацией - чаще гордая лживая самоуверенность, может выражать предостережение или согласие со словами собеседника. "Дык" с многоточием - извинение, признание в совершенной ошибке, подлости и так далее. ЕЛКИ-ПАЛКИ (чаще "ну елки-палки", еще чаще "ну елы-палы") второе по употребимости выражение. Выражает обиду, сожаление, восторг, извинение, страх, радость, гнев и другое. Характерно многократное повторение. Например, если митек ищет затерявшуюся вещь, он на всем протяжении поисков чрезвычайно выразительно кричит: "Ну елы-палы! Ну елы-палы!" Очень часто употребляется в комплексе с "дык". Двое митьков могут сколь угодно долгое время переговариваться:

-- Дык!

-- Ну елы-палы...

-- Дык!

-- Ну елы-палы...

Такой разговор может означать многое. Например, он может означать, что первый митек осведомляется у второго: сколько времени? Второй отвечает, что уже больше восьми и в магазин бежать поздно, на что первый предлагает бежать в ресторан, а второй сетует на нехватку денег. Однако чаще такой разговор не выражает ничего, а просто является заполнением времени и самоутверждением митьков. С'ЕСТЬ С ГОВНОМ (кого-либо) - обидеть, упрекнуть. Видимо, сконцентрировано из выражений "смешать с говном" и "сВесть с кашей". ОТТЯГИВАТЬСЯ - заниматься чем-либо приятным, чтобы позабыть о тяготах жизни митька; чаще всего означает "напиться". ОТТЯЖНИК - кто-либо, привлечший внимание митька, например, высоко прыгнувший кот. Кстати, митьки чрезвычайно внимательны к животному миру и выражают свое внимание очень бурно. В ПОЛНЫЙ РОСТ - очень сильно. Например, оттянуться в полный рост - очень сильно напиться. УЛЕТ, УБОЙ, ОБСАД, КРУТНЯК - похвала, одобрение какого-либо явления, почти всегда употребляется с прилагательным "полный", например: "Портвяшок - полный убой (улет, обсад, крут няк)!" ДУРИЛКА КАРТОННАЯ - ласковое обращение к

собеседнику. МОЖНО ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ СПОКОЙНО? - предложение сделать что-либо или негодование по поводу помехи сделать что-либо. Например: "Можно хоть раз в жизни спокойно выпить (покурить, поссать, зашнуровать ботинки)?" ЗАПАДЛО - ругательство, чаще обида на недостаточно внимательное обращение с митьком. Например: "Ты меня запаadlo дер жишь". ЗАПОДЛИЦО - излишне тщательно (искусствоведческий термин). А-А-А-А-А! - часто употребляемый звук. С ласковой или горестной интонацией - выражение небольшого упрека, с резкой, срывающейся на визг и крик - выражение одобрения. А ВОТ ТАК! - то же, что и восклицание "дык", но более торжествующее.

При дележе чего-либо, например, при разливании бутылки вина, употребляются три выражения, соответствующие трем типам распределения вина между митьком и его собутыльниками: РАЗДЕЛИТЬ ПОРОВНУ - вино разливается поровну. РАЗДЕЛИТЬ ПО-БРАТСКИ - митек выпивает большую часть. РАЗДЕЛИТЬ ПО-ХРИСТИАНСКИ - митек все выпивает сам.

Высшее одобрение митек выражает так: рука прикладывает ся к животу, паху или бедру и митек, сжав кулак, мерно покачивает руку вверх и вниз; на лице его в это время сияет неописуемый восторг. Митек решается на такой жест только в крайних случаях, например, при прослушивании записей "Аква риума".

Для митька характерно использование длинных цитат из многосерийных кинофильмов; предпочитают цитаты, имеющие жалостливый или ласковый характер, например: "Ваш благородие! А, ваш благородие! При мальчонке! При мальчонке-то! Ваш благородие!" Если собеседник митька не смотрел цитируемый телефильм, он вряд ли поймет, какую мысль митек хотел выразить, тем более что употребление цитаты редко бывает связано с ранее ведущимся разговором. Особенно глубокое переживание митек выражает употреблением цитаты: "Митька... Брат... Помирает... Ухи просит..."

Если митек не ведет разговор сам, он сопровождает каждую фразу собеседника залихватским смехом, ударами по коленям или ляжкам и выкриками: "улет! Обсад!" или же, напротив, горестными восклицаниями "дык! Как же так?...", причем выбор одной из этих двух реакций не мотивирован услышанным митеком.

Обращение митька с любым встречным характерно чрезвычайной чайной доброжелательностью, он всех называет ласкательными именами: братками, сестренками и так далее. Иногда это затрудняет собеседнику понимание того, о ком идет речь, так как С. Курехина митек обязательно назовет "корешком-курешком", а Б. Гребенщикова - "гребешочком".

При встрече даже с малознакомыми людьми обязательны трехкратный поцелуй, а при прощании митек сжимает человека в объятия, склоняется ему на плечо и долго стоит так с закрытыми глазами, как бы впадая в медитацию.

Круг интересов митька довольно разнообразен, однако об объекте интересующего предмета, например, произведения живописи, почти всегда ограничивается употреблением выражений "обсад", "круто" и так далее. Высшую похвалу произведению живописи митек выражает восклицанием "А-а-а-а!" и при этом делает руками такой жест, будто швыряет в стену комок грязи.

К таким сенсационным явлениям в культурной жизни нашего города, как выставки Тутанхамона или Тиссен-Борнемиса, митек относится строго наплевательски.

Митек любит самоутверждать себя в общении с людьми, не участвующими в движении митьков. Вот, например, обычный телефонный разговор Дмитрия Шагина и Александра Флоренского.

ФЛОРЕНСКИЙ (снимая трубку): Слушаю.

ШАГИН (после долгой паузы и нечленораздельного хрипа, горестно и неуверенно): ...Шурка?... Шурочек...

ФЛОРЕНСКИЙ: Здравствуй, Митя.

ШАГИН (ласково): Шуреночек... Шурка... А-а-а... (после паузы, с тревогой) Как ты?!

Ну как ты там?!

ФЛОРЕНСКИЙ: Ничего, вот Кузя ко мне зашел.

ШАГИН (с неизВяснимой нежностью к малознакомому ему Ку зе): Кузя! Кузюничик... Кузярушка у тебя там сидит... (пауза) С Кузенькой сидите?

ФЛОРЕНСКИЙ (с раздражением): Да.

ШАГИН: А-а-а... Оттягиваетесь, значит, с Кузенькой, да? (пауза) (неожиданно с надрывом) А сестренка?! Сестрен ка-то где моя?!

ФЛОРЕНСКИЙ (с некоторой неприязнью, догадываясь, что имеется в виду его жена Ольга Флоренская): Какая сестренка?

ШАГИН: Одна сестренка у меня - Оленька...

ФЛОРЕНСКИЙ: Оля на работе.

ШАГИН: Оленька... (глубоко серьезно, как бы открывая важную тайну) Ведь она сестренка мне...

ФЛОРЕНСКИЙ: Митя, ты чего звонишь-то?

ШАГИН: Дык! Елы-палы! Дык! Елы-палы... Дык! Елы-палы...

ФЛОРЕНСКИЙ (с раздражением): Митя, ну хватит тебе!

ШАГИН (ласково, укоризненно): Шуренок, елки-палки... Дурилка ты...

ФЛОРЕНСКИЙ (с нескрываемым раздражением): Хватит!

ШАГИН (с надрывом): Шурка! Браток! Ведь ты браток мне! Братушка! Как же ты так?... С братком своим!...

Флоренский в сердцах брякает трубку. Дмитрий Шагин глу боко удовлетворен разговором.

Как и всякий правофланговый активист массового молодеж ного движения, Дмитрий Шагин терпит конфликт с обществом. Вообще любой митек, как ни странно, редко бывает доволен об стоятельствами своей жизни. Про любой положительный факт в жизни других людей он ласково, но с большой горечью говорит: "А одним судьба - карамелька, а другим - сплошные муки...", естественно, разумея мучеником себя.

Действительно, нельзя не предупредить, что участие в движении митьков причиняет подвижнику некоторые неудобства.

Рассудите сами: какой же выдержкой должна обладать жена митька, чтобы не пилить и не попрекать последнего в нежелани делать что-либо, точнее, самое неприятное заключается в том, что митек с готовностью берется за любые поручения, но обязательно саботирует их. На все упреки в свой адрес митек ангельски улыбается, слабо шепча жене: "Сестренка! Сестренка ты моя!... Дык! Елки-палки! Дык!" В ответ на самые сильные обвинения он резонно возражает: "Где же ты найдешь такое зо лото, как я, да еще чтобы что-нибудь делал?"

Иной раз митек берет на себя явно авантюрные обязательства, например, самому произвести ремонт квартиры. В этом случае он зовет себе на помощь нескольких других митьков, и они устраивают в комнате, предназначенной для ремонта, за пойд, дабы оттянуться от судьбы, полной одними муками. Если настойчивые усилия многих людей действительно вынудят митька приступить к ремонту, комната в самом скором времени приоб ретает вид мрачного застенка: последующие усилия митька ока зывают на комнату воздействие, аналогичное взрыву там снаря да крупного калибра.

Дмитрий Шагин, прослушав этот очерк, был скорее обижен, чем польщен, и заявил, что хватит есть его с говном, елки- палки - не пора ли что-нибудь хорошее сказать, например, упомянуть про отличную живопись Дмитрия Шагина. Что ж, так и напишем: у Дмитрия Шагина отличная живопись (что, собствен но, не имеет никакого отношения к движению митьков), но и все вышеизложенное рисует глубоко положительного героя, вставшего во главе движения отнюдь не бессознательно.

Движение митьков развивает и углубляет тип "симпатично го шалопая", а это, может быть, самый наш обаятельный нацио нальный тип, - кроме, разве, святого.

Нет, я не все сказал: мне что-то не по себе: боюсь, меня превратно поняли. Читают этот рассказ со смехом, хлопают себя по коленям и ляжкам - и все?

В рассказе нет никакой насмешки, а если есть усмешка, то добрая.

Но действительно, местами меня можно заподозрить в намерении сВесть митьков с говном.

А теперь вот что я вам скажу: единственное, в чем можно обвинить митьков, так это в том, что они слишком щедро используют выразительные средства. Да в одном митьковском "елы-палы" размах, градация - от легкой романтической грусти до душераздирающего бешенства - куда круче, чем в сборнике стихотворений любого из этих серьезных мерзавцев!

Недоброжелатели движения скажут, что все это наиграно.

Даже если это так - а это не так - то и в этом случае не столь уж виноват митек, художник поведения в мире, где все - только разводы на покрывале Майи...

Движение митьков глубоко гуманистично. Вот, например, одно из любимых выражений Дмитрия Шагина:

**СТОЯТЬ!** (имеется в виду - стоять насмерть) - произносятся, естественно, очень экспрессивно и несколько зловеще как правило, это, конечно, призыв поддержать митька в его начинаниях; но и сам Митька не знает, сколько раз мне помогло это зловещее "стоять!"

Да много раз бывало, что митек оказывается единственным, от кого добьешься сочувствия: оказываешься хоть на миг нуту оберегаемым ласковостью и энергией митька.

Лексикон, или, если так можно выразиться, сленг митьков изумительно красноречив и понятен каждому без предварительной подготовки. Взять, например, внешне маловразумительное слово:

**ОПАНЬКИ!** - описание поразившего митька действия. Само действие не называется прямо, но слушатель без труда угадает, если он уже не совсем тупой, что именно имеется в виду, например: "Наливаю я себе полный стакан "Земфиры", а Флореныч, гад - опаньки его!"

К слову пришлось: вот поучительный пример стоически-эпикурейского восприятия действительности митьками. Обычно митек по недостатку средств употребляет самую отвратительную бормотуху, вроде той же "Земфиры". Тщательно ознакомившись с этикеткой и с удовлетворением отметив, что бормотуха, конечно же, выработана из лучших сортов винограда по оригинальной технологии, он залпом выпивает стакан этого тошнотворного напитка и с радостным изумлением констатирует: "Вот это ви но!"

Не следует думать, что митек не замечает настоящего качества этого вина: нет, но уж коли от него не уйдешь, надо не хаять, а радоваться ему. Сделайте комплимент самой некра сивой женщине - и она уже всегда будет привлекательнее.

Нет, это даже не стоически-эпикурейское восприятие, это Макар Иванович Долгорукий и старец Зосима!

И еще, добавил Генри Дэвид Торо: "Мудрецы всегда жили проще и скуднее, чем бедняки. Нельзя быть беспристрастным наблюдателем человеческой жизни иначе, как с позиций, которые мы назвали бы добровольной бедностью. Живя в роскоши, ничего не создашь, кроме предметов роскоши, будь то в сельском хозяйстве, литературе или искусстве!"

Читатель! Пусть тебе не импонирует движение митьков но тут уже не шутки, прислушайся к этим золотым словам!

Митькам этого доказывать не надо. Митек, конечно же, зарабатывает в месяц не более 70 рублей в своей котельной (сутки через семь), где он пальцем о палец не ударяет, ибо неприхотлив: он, например, может месяцами питаться только плавлеными сырками, считая этот продукт вкусным, полезным и экономичным, не говоря уже о том, что его потребление не связано с затратой времени на приготовление.

Правда, я слышал об одном митьке, который затрачивал сравнительно долгое время

на приготовление пищи, зато делал это впрок, на месяц вперед. Этот митек покупал 3 килограмма зельца (копеек по 30 за килограмм), 4 буханки хлеба, две пачки маргарина для сытости, тщательно перемешивая эти про дукты в тазу, варил и закатывал в десятилитровую бутылку. Та ким образом, питание на месяц обходилось примерно в три руб ля плюс большая экономия времени.

Полагаю, что за одно только решение продовольственной проблемы этот митек должен занять достойное место в антоло гии кинизма.

Впрочем, признаюсь, что на халяву митек лопаает, как Гаргантюа.

Одно только может выбить митька из седла: измена делу митьков, и даже не измена, а отказ кого-либо от почетного звания участника этого движения.

Мне хочется описать один такой драматический эпизод.

Как-то раз я, Дмитрий Шагин и Андрей Филиппов (Фил) си дели и обсуждали вопросы художественной фотографии.

-- А хорошо бы, - задумчиво сказал Митька, - собрать всех нас, митьков, одеть в тельняшки (я так и не понял, по чему в тельняшки) и сфотографироваться. Чтобы все были - я; ты, Володька; ты, Фил...

-- Но ведь я же не митек, - необдуманно заметил Фил.

Митька выронил стакан, как громом пораженный:

-- Как не митек?!!

Он не мог опомниться; так на любящего супруга действует известие об измене жены.

-- Я браток тебе, браток, - попытался оправдаться Фил, видя, что натворил. Какое же это было слабое утешение! - любящего супруга больше не утешили слова жены, что они "могут остаться друзьями".

-- Так что же... Я только один митек, и все... Дык... Убил ты меня, Фил, убил! - вскричал Митька, рванув рубаху на груди.

-- Нет, я наверное, митек, - бледнея, прошептал Фил.

Митька, не слушая оправданий, сполз с дивана на пол и, неподвижно глядя в одну точку, проговорил:

-- А ведь это... Ты, Мирон... Павла убил!

Фил в недоумении смотрел на Митьку. Тот продолжал:

-- Откуда ты?... Да с чего ты взяла? А... Ты фитилек- то... Прикрути! Коптит! Вот такая вот чертовина. Сам я Павла не видал. Но ты, Оксана... Не надейся. Казак один... Зарубал его! Шашкой, напололам!

Фил в глубоком раскаянии повернулся ко мне и взмолился:

-- Ну Володька, Володька! Скажи ему, что я митек!

Митька невидящим взглядом скользнул по нам и заявил:

-- Володенька! Володенька, отзовись! А, дурилка картонная, баба-то, она сердцем видит...

-- Митька, брось! - вмешался в разговор я. - Давай я тебе налью.

-- Митька... Брат... Помирает... - ответил Митька, ухи... Просит...

Затем Митька посмотрел на нас на миг прояснившимся взо ром и решительно рявкнул:

-- Граждане бандиты! Вы окружены, выходи по одному и бросай оружие на снег! Кто это там гавкает? С тобой, свинья, говорит капитан Жеглов! А мусорка вашего мне на сВедение от дашь? Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова!

Нет сил продолжать описание этой душераздирающей сцены.

Относительно Фила следует признать, что впоследствии он вполне исправил свою, чтобы не выразиться хуже, оплошность, и даже внес значительный вклад в общую теорию движения мить ков. Так, он разработал и мастерски исполняет сложный ритуал приветствия митьков.

Вот краткое описание ритуала.

Один митек звонит по телефону другому и договаривается о немедленной встрече

(митек с трудом может планировать свое время на более длительный срок). В назначенный час он входит в дом другого митька и начинает исполнение ритуала: вбежав и найдя глазами этого другого митька, он в невыразимом волне нии широко разевает рот, прислоняется к стене и медленно оседает на пол. Другой митек в это время хлопает себя по ко леньям, вздымает и бессильно опускает руки, отворачивается и бьет себя по голове, будто бы пытаясь отрезвиться от неверо ятного потрясения.

После этого первый митек срывающимся голосом кричит:

-- Браток! Митька! - и кидается в обВятия другого мить ка, однако по пути как бы теряет ориентировку и, бесцельно хватая руками пространство, роняет расположенную в доме ме бель. Другой митек закатывает глаза и, обхватив голову рука ми, трясет ее с намерением избавиться от наваждения.

Хорошо, если при ритуале приветствия присутствуют ста тисты, которые должны хватать митьков за руки, не давая им обняться слишком быстро или не совершить над собой грех смертоубийства.

Если статистов нет, первый митек продолжает шарить по комнате в поисках стоящего перед ним в столбняке второго митька (как ведьма вокруг Хомы Брута) до тех пор, пока не зацепится о труднопередвигаемый предмет и не рухнет на пол.

Эта часть ритуала выглядит особенно торжественно. В па дении должен быть отчетливый оттенок отречения от встречи; митек этим падением должен выразить, что его нервная система не выдерживает перегрузки от волнительности встречи и отка зывает.

Отмечу, что Фил мастерски и не без самопожертвования исполняет этот финал ритуала - он падает с оглушительным грохотом (как говорят спортсмены - не "группируясь") и без видимого усилия может непоправимо сломать всю мебель, ока завшуюся в поле его действия.

Продолжая тему вклада Фила в движение митьков, опишу такой типичный случай.

Рано утром после четырехдневного запоя в мастерской Флоренского Фил выходит в булочную за четвертушкой хлеба. Изнемогший от запоя Флоренский берет с него нерушимую клятву не приносить с собой ни капли спиртного; впрочем, денег у Фила нет и на маленькую кружку пива, не говоря уже про ранний час, так что это предупреждение звучит чисто умозрительно.

Через пятнадцать минут Фил звонится обратно. Открыв дверь и увидев характерное оживление на лице Фила, Флоренс кий чувствует неладное и устраивает последнему тщательный обыск. Фил охотно подчиняется этому, поднимает руки и поворачивается вокруг оси, предоставляя возможность проверить содержимое всех запазух, карманов и голенищ. Найдя четвертушку хлеба и убедившись в отсутствии бутылки, Флоренский облегченно вздыхает, выпускает Фила в мастерскую и идет на кухню ставить чайник.

Вернувшись, он застает Фила перед несколькими фугасами "Агдама", причем один из них уже откупорен и почат. На лице Фила сияет ласковая укоризна: ну что ж ты сердисься, братуш ка? Сам видишь - теперь уже ничего не поделаешь...

Отмечу, что способ приятно провести время в доме, где не выносят употребления спиртных напитков, был изобретен Дмитрием Шагиным. Способ прост и изящен.

Подойдя к двери этой ("образцовой культуры быта") квар тиры и позвонившись, Дмитрий Шагин выхватывает бутылку бор мотухи и стремительно вливает ее в себя "винтом" за то вре мя, пока хозяин идет открывать дверь. Входящий Митька еще абсолютно трезв. Видя это, хозяин радушно встречает его, усаживает за стол и потчует чаем.

Однако, не успев размешать сахар, Митька явственно ко сеет. На изумление хозяина он с гордостью отвечает:

-- А вот так! Элементарно, Ватсон, дурилка картонная!

На упреки в свой адрес он отвечает ласковым смехом, а угрозы игнорирует.

Естественно, что этот изящный способ требует некоторой сноровки и силы духа.

Этот случай - типичный пример того, как митек достает людей.

ДОСТАТЬ (кого-либо) - довести человека до раздражения, негодования или белого каления (вышеприведенный телефонный разговор Д. Шагина и А. Флоренского - классический пример доставания). Как мы видим, доставанием митек преподносит человеку поучительный и запоминающийся урок выдержки, терпения и христианского смирения.

Впрочем, я только что допустил неточность - в отличии от других митьков Дмитрий Шагин никогда не употребляет цита ты "Элементарно, Ватсон!"

Этот факт очень важен, так как явственно доказывает, что движение митьков вовсе не предполагает обезлички и унификации выразительных средств: будучи митьком, ты вовсе не должен мимикрировать к Дмитрию Шагину.

Справедливости ради все же отмечу единственный замеченный мной случай стремления Митьки к внешней атрибутике и унификации. Дмитрий Шагин, естественно, носит бороду. Ласково, но настойчивые уговоры Митьки не заставили некоторых его знакомых митьков (особенно тех, у кого борода не растет) последовать его примеру. Не помогли и ссылки на то, что бо́льшую часть носили такие высокочтимые митьками люди, как Пушкин, Лермонтов и Достоевский, а вот такой гад, как Альфред де Мюссэ - так тот, наоборот, бороды не носил.

Тогда Дмитрий Шагин после длительных изысканий обнаружил и распропагандировал следующее постановление из "Деяний столповаго собора" 1500 года:

"Творящий брэдобритие ненавидим от Бога, создавшего нас по Образу Своему. Аще кто бороду бреет и преставится тако не достоин над ним пети, ни просфоры, ни свечи по нем в церковь не приносит, с неверными да причтется".

Однако мне не хочется верить, что этот единичный пример тактики запугивания свидетельствует о проявлении деспотических черт в личности лидера движения.

К высоким достоинствам митьков следует отнести и беззаветную преданность движению. Митек, не задумываясь, будет поступать в ущерб себе, лишь бы не изменить своему кредо.

Например, представьте себе такую печальную умозрительную ситуацию: митек заводит себе любовницу и впервые ложится с ней в постель (прошу жену Дмитрия Шагина учесть, что я имею в виду абстрактного митька).

Допустим, что застенчивый от природы митек просит любовницу потушить свет. Нет ни малейшего сомнения, что свою просьбу он сформулирует так:

-- Ты... Фитилек-то... Прикрути! Коптит!

Эту фразу он сопроводит характерными ужимками отвратительного персонажа телефильма "Адьютант его превосходительства".

Нетрудно понять, что это высказывание вряд ли произведет на его любовницу благоприятное впечатление, если, конечно, она сама не является участницей движения митьков. В этом случае она мгновенно откликнется:

-- А ведь это... Ты, Мирон... Павла убил! - и далее по сценарию телефильма.

Вот так-то. Опять повторю - если ты не митек, то фиг под него подделаешься. Да и себе дороже.

III

### МИТЬКИ И КУЛЬТУРА

Явишася некто, их же никто  
добре ясно не весть, кто суть и  
отколе идут и что язык их и кото  
раго племени суть и что вера их."

(Новгородская летопись XIII

века о татаро-монголах)

Слова, вынесенные в эпиграф, точно передают печальное положение, сопутствующее движению митьков. Общество впитывает отрывочные и недостоверные сведения о движении так жадно, как раскаленная пустыня впитывает струйку воды, но все,

ко нечно, не может насытиться.

Вот в последнее время много говорят о митьковской культуре, дык а как вкусить ее плодов?

Поток лишней информации обволакивает мир, а золотая струя митьковской культуры еле мерцает. (Немудрено, что стиснув зубы, за перо берутся такие далекие от литературы лица, как А.Флоренский и Фил - лишь бы не иссякла эта струя!)

Дмитрий Шагин, который после опубликования первых све дений о митьках ходил именинником и даже обещал ставить мне каждый день по бутылке, теперь приуныл: митьковская культура, виляя справа налево, оторвалась от своего лидера и блуждает в потемках... Появились молодые митьки, уже и не слышавшие про зачинателя движения.

Однажды, теплой белой ночью, мимо Дмитрия Шагина прошла группа молодых людей, размахивая цитатниками (!) и скандирующая: "Мы митьки! Мы митьки!" Как же полна была чаша горечи, которую пришлось испытать лидеру движения, когда он увидел в ушах этих, так называемых, митьков "плейеры", а на ногах кроссовки!

Не каждый новообращенный может отказаться от попсового шмотья, нажитого в домитьковские времена, появилась даже формула, митьковская по букве, но не по духу: кто носит "Адидас", тому любая лялька даст!

Но это все же не важно, настоящий митек и амуницию в стиле Дэвида Бауи сможет носить как рваный ватник. Нужно, пожалуй, изменить формулировку: митек одевается во что попадет, но ни в коем случае не производит впечатление попсово одетого человека.

Однако, вернемся к наболевшему вопросу о культуре.

Нижеприведенные очерки не дадут конкретного описания вкусов и привязанностей митьков - это сделано в работе А.Флоренского (см. Реферат в IV части). Я попытаюсь только дать общие понятия о митьковской культуре и указать направление дальнейших исследований.

#### МИТЬКОВСКИЕ ЦИТАТНИКИ

Я с удовлетворением воспринял известие о появлении первых, видимо, рукописных, митьковских цитатников.

Время требует от нас призадуматься об общих принципах издания таких цитатников.

Чтобы выполнить свою важную функцию - быть предметом, удобным для размахивания - цитатник должен издаваться в приятном оформлении, небольшом формате, объем его не должен превышать одной-двух тысяч страниц, поэтому целесообразно печатать его мелким шрифтом на рисовой бумаге.

Цитатник, как это видно из наименования, является собранием употребляемых митьками цитат из телефильмов, кинофильмов, романов, газет, эстрадных представлений, опер, балетов и т.д.

Классификация цитат может быть различной:

-- по алфавиту (Например, буква А: "А мусорка вашего мне на сведение отдашь?")

-- по первоисточнику (Например, названия разделов: телефильм "Место встречи изменить нельзя", опера "Повесть о настоящем человеке", стихотворение "Бедный Икарушка" и т.п.)

-- по эмоции, выражаемой цитатой (Например, раздел "решительность" "Надо вынимать Фокса с кича, - иначе всем нам кранты!", или, из того же раздела: "Это я убил тогда стару ху-процентщицу и сестру ее Лизавету топором и ограбил!")

Объем издания вынуждает к краткости. Вот как я представляю себе статью из цитатника по первоисточнику: например, раздел "Место встречи изменить нельзя". КТО ЭТО ТАМ ГАВКАЕТ? - С ТОБОЙ, СВИНЬЯ, ГОВОРИТ КАПИТАН ЖЕГ ЛОВ. - Цитата произносится одним лицом, не выражает отчетливых эмоций, служит для самоутверждения и заполнения времени.

От некоторых митьков, особенно зарубежных, не знакомых с нашей отечественной телеклассикой, можно услышать сетования по поводу непонятности цитат, например, вышеприведенной, даже для участников движения.

Встает вопрос: не стоит ли в цитатнике кратко указывать ситуацию, при которой произносится цитата? Ответ: во-первых, митьковские цитаты достаточно выразительны и без комментари ев, так как употребляются не ради назидательности, а из чис того искусства; а во-вторых, место для подобных обВяснений, конечно, не в маленьких цитатниках, а в Большой Митьковской Энциклопедии.

Вот как я представляю себе статью о вышеприведенной ци тате там (разумеется, в сокращении): КТО ЭТО ТАМ ГАВКАЕТ? - С ТОБОЙ, СВИНЬЯ, ГОВОРIT КАПИТАН ЖЕГ ЛОВ. Цитата составная, состоит из двух реплик. Назначение цитаты: доставание (см. Статью "христианское сми рение") Происхождение цитаты: пятая серия телефильма "Место встречи изменить нельзя" (см. Статью "Место встречи изменить нель зя"). Экспозиция произнесения цитаты в первоисточнике: Жеглов (см. Статью "Жеглов") заловил Горбатого (см. Статью "Горбатый") в подвале и говорит в рупор (см. Статью "Матюгальник"), чтобы тот выходил. ГОРБАТЫЙ (из подвала): Кто это там гавкает? ЖЕГЛОВ (в рупор): С тобой, свинья, говорит капитан Жеглов! Область применения цитаты: цитата не имеет выраженной эмоци ональной окраски, но убедительно звучит в телефонном разго воре. Например: митек звонит абоненту, АБОНЕНТ: Алло? МИТЕК: Кто это там гавкает? АБОНЕНТ (обиженно): А кто это звонит? МИТЕК (победно): С тобой, свинья, говорит капитан Жеглов!

13

С достоинством произнесенная цитата в большинстве слу чаев произведет на абонента желаемый эффект.

Цитата уместна в разговоре с соседом по коммунальной квартире, украсит она и праздничный стол.

Митьку-абитуриенту можно посоветовать произнести ее во время собеседования с преподавательским составом (по тому же типу, например: ПРОФЕССОР: Здравствуйте, молодой человек! МИТЕК: Кто это там гавкает? ПРОФЕССОР: Что вы себе позволяете, молодой человек! МИТЕК: С тобой, свинья, говорит капитан Жеглов!)

Митек-студент, имея зычный голос, оживит этой цитатой скучную лекцию, митек-служащий с ее помощью сделает более непринужденными, как правило, натянутые отношения с начальс твою.

### НОВОЕ В КУЛЬТУРЕ РЕЧИ МИТЬКОВ

О новых направлениях в лексике митьков можно сказать немного, ибо она развивается столь стремительно, что мудре но предугадать.

Как мы знаем, для речи митьков характерно употребление ласкательных окончаний и мощный драматизм. Первый фактор по могает избежать сухости и суровости, второй - ханжеского, елейного оттенка речи в стиле Иудушки Головлева.

Не так давно ласкательные окончания употреблялись толь ко применительно к существительным и прилагательным, напри мер:

-- Где оттягивался вчера?

-- В паркушке Победушки.

Или, поскольку речь идет о культуре:

-- Какой фестивальнй фильм убойнее?

-- "Гибелюшечка боженек" Висконтьюшки (Здесь восхищает смелая ломка общего угрожающего смысла названия фильма).

Однако, язык митьков, как и было сказано, не стоит на месте. Недавно, на вопрос, какой фестивальнй фильм самый улетный (читатель, полагаю, догадывается о тонком различии между "улетом", "обсадом" и т.д.), Дмитрий Шагин дал ответ: "А кораблюшечка-то, плыветушки". (Попутно отметим, как прия тен здесь "кораблюшечка" вместо набившего оскомину банально го "кораблика").

Итак, ласкательные окончания появились также у глаго лов, причем у всех глаголов (из предистории митьковской лек сики: А не пора ли нам спатеньки? Другого примера уже, пожа луй, и нет)

Можно смело предсказать, что вскоре ласкательные окон чания появятся также у местоимений, деепричастий и герунди ев.

Мощный драматизм речи митьков достигается перманентно надрывной интонацией, частым употреблением абстрактно-жалос тливых баек (см. Раздел "О трагическом у митьков") и специфическим понятием о долге - скорее трансцендентном, чем реальном.

Митек не выполняет взятых на себя обязательств, чего от него, впрочем, уже и не ждут, но считает важным исполнение невысказанных желаний (ведь так и надо в любви - а митьки всех любят). Так как окружающим трудно не только выполнить, но и догадаться об этих желаниях, обида митька накапливается и драматизм речи возрастает.

Например: митек просыпается с похмелья один. Ему жарко и муторно, хочется, чтобы кто-нибудь зашел в гости и рзвлек его - но никто не приходит, не приносит ему пивка. Потеряв ший терпение митек звонит приятелю, кандидатуру которого он считает подходящей для сегодняшнего гостя:

-- За что?! За что ты меня так?!

-- А что? - пугается приятель.

-- А что... - горько усмехается митек, - да ладно... Нет, все ж таки скажи, только одно скажи - за что ты со мной так?! Пусть, пусть я гад, запаadlo - но так! Так-то за что меня! Я что - убил кого-нибудь? Ограбил?

-- Митя? Да что случилось?!

-- А ты не знаешь, что случилось?

-- Не знаю...

-- Почему же ты не мог один - один только разочек в жизни! - спокойно придти в гости?!

#### О ТРАГИЧЕСКОМ У МИТЬКОВ

Есть такие старые, навсегда закрывшиеся пивные ларьки. Наметанный глаз еще различит вокруг них следы недавнего оживления: слежавшиеся пласты окурков, там-сям пятна металлических и пластмассовых пробок, осколки зеленого стекла. Но сквозь плотно утрамбованную почву уже пробивается трава, черная пыль лежит на прилавке ларька, стекла разбиты, оттуда разит мочой.

И часто можно увидеть, как утром к этой могилке ларька по одному, по двое или по трое приходят некрасиво, неряшливо одетые люди и долго стоят здесь. Это в основном пожилые лю ди. ("Брали Берлин! - со слезами говорит митек-рассказчик, А такой как Дэвид Бауи - нет! Он не придет к такому ларь ку!").

-- Или нет! - с ходу перестраивает повествование Д.Ша гин (а рассказывает именно он), - это бы еще полбеды! Лареч ки-то... Еще открыты! Только в них теперь... Квас, а не пи во!

И вот приходят так... Поятся... Один к ларьку подой дет, возьмет кружечку... Кваса! Со вздохом посмотрит на нее (Митька, изображая все в лицах, смотрит на воображаемую кружку как очень грустный баран на новые ворота), отопьет от нее... Поставит обратно... Вздохнет... Подойдет к своим то варищам...

-- А чего они стоят? Курят?

-- Просто стоят! Ну, подойдет так...

-- Чего они собираются-то? Разговаривают?

-- Да нет! Молча! Молча стоят! Один только подойдет к ларечку, возьмет кваса, посмотрит так...

#### ОБ ЭПИЧЕСКОМ У МИТЬКОВ

Митьки уже потому победят, что они никого не хотят победить...

Они всегда будут в говнище, в проигрыше... (шепотом). И этим они завоюют мир."

(Из разговора с Д.Шагиным)

Гете и Жан-Поль высказывали мнение, что эпическое противоположно комическому. Устное творчество митьков не только опровергает это мнение, но и доказывает обратное. Как высокий образец эпического у митьков я приведу анекдот.

Каждое слово, интонация, пауза и жест в этом шедевре отшлифовано на общих собраниях и сВездах митьков, где этот анекдот повторялся бесчисленно, неизменно вызывая восторг, переходящий в сдавленные рыдания и клятвы быть верным делу митьков по гроб.

Итак: плывет океанский лайнер. Вдруг капитан с капитанского мостика кричит в матюгальник:

-- Женщина за бортом! Кто спасет женщину?

Молчание. На палубу выходит американец. Белые шорты, белая майка с надписью "Майами бич".

-- Я спасу женщину!

Одним взмахом, пластично расстегивает zipper, срывает шорты и майку, остается в плавках стального цвета.

Корабль затаив дыхание, смотрит.

Американец, поигрывая бронзовым телом, подходит к борту, грациозно, не касаясь перил, перелетает их и входит в воду без брызг, без шума, без всплеска!

Международным брассом мощно рассекает волны, плывет спасать женщину, но!... Не доплыв десяти метров... Тонет!

Капитан в матюгальник:

-- Женщина за бортом! Кто спасет женщину?

Молчание. На палубу выходит француз. Голубые шорты, голубая майка с надписью "Лямур-тужур".

-- Я спасу женщину!

Одним взмахом пластично расстегивает zipper, срывает шорты и майку и остается в плавках с попугайчиками.

Корабль, затаив дыхание, смотрит.

Француз подходит к борту, как птица, перелетает перила, входит в воду прыжком три с половиной оборота без единого всплеска!

Международным баттерфляем плывет спасать женщину, но!... Не доплыв пяти метров... Тонет!

Капитан в матюгальник срывающимся голосом:

-- Женщина за бортом! Кто спасет женщину?

Молчание. Вдруг дверь каюты открывается, на палубу, сморкаясь и харкая, вылезает русский. В рваном, промасленном ватничке, штаны на коленях пузыряем.

-- Где тут? Какая баба?

Расстегивает единственную пуговицу на ширинке, штаны падают на палубу. Снимает ватник и тельняшку, кепочку аккуратно положил сверху, остается в одних семейных трусах до колен.

Поеживаясь, хватается за перила, переваливается за борт, смотрит на воду: и с хаканьем, с шумом, с брызгами солдатиком прыгает в воду, и... Сразу тонет.

Таков полный канонический текст этого анекдота. Рассказывая его непосвященным, митек вынужден слегка комментировать, так, описывая выход американца и француза, митек, не скрывая своего восхищения, прибавляет: "В общем, Дэвид Бауи! Гад такой!", а когда на палубе появляется русский, митек заговорщически прибавляет: "Митек!"

Кстати, этот анекдот вполне может служить эпиграфом к капитальному труду "Митьки и Дэвид Бауи".

#### О НЕКОТОРЫХ ПРОТИВНИКАХ МИТЬКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Митьки уже потому победят, что они никого не хотят победить...

Они всегда будут в говнище, в проигрыше... (шепотом). И этим

они завоюют мир."

(Из разговора с Д.Шагиным)

Будем глядеть правде в лицо: культура митьков имела и будет иметь противников. Я имею ввиду не противников по не вежеству или недостатку гуманизма, и не тех торопыг, что не могут вынести доставучесть митька. Я имею в виду злого и ум ного врага, культурного противника.

Вот книга (которую я давно, как и подобает, пропил) Константина Леонтьева - "О стиле романов графа Толстого".

Есть в ней мысли и о стиле романов, и о Толстом, но главная тема этой книги - беспощадная, не на жизнь, а на смерть, борьба с митьковской культурой.

Я не имею возможности прямо цитировать эту книгу, но страх и растерянность известного реакционера XIX века перед пробуждающейся митьковской культурой, хорошо запомнились мне.

Есть в русской литературе, писал он, какая-то тенденция к осмеянию своего героя. Если в англоязычной литературе все говорится как есть, во французской - преувеличенно, то в русской - грубо и принижено.

Если английскому автору нужно описать, например, страх в герое, он так прямо и напишет: "Джон испугался и пошел до мой". Француз напишет: "Альфред затрепетал. Смертельная бледность покрыла его прекрасное лицо" и т.д. А русский ав тор скажет: "Ваня сдрейфил (лучше даже - приссал) и попер домой".

Реакционному философу нельзя отказать в наблюдательнос ти, расстановка сил для него ясна: на палубу выходит амери канец, на палубу выходит француз, из каптерки вылезает русс кий. Но отнестись к ним философски он не в силах: одобряя сухую пустоту англичанина, он смеется над французом и прези рает русского.

Митек же, приводя свой куда более отточенный и изящный анекдот, не скрывает своего восхищения и американцем, и французом, и хоть самим К.Леонтьевым, которому явно не хва тает гуманизма и христианского смирения.

Далее, язвительный философ через столетие прямо протя гивает руку присяжным критикам "Литературной газеты", угрюмо жалуясь на неизящных персонажей русской литературы, которые постоянно "подходят к буфету и хлопают рюмку очищенной, а если (вот знаменательное признание) герой после этого ласко во ослабится, то доверие читателя обеспечено".

Горький сарказм ядовитого мыслителя здесь неуместен и просто жалок - он недоволен, что читатель сделал свой выбор и его доверие отдано достойнейшему - митькам, а не К.Леонтьеву!

Не злись, К.Леонтьев, - ты победил - ведь митьки-то ни кого не хотят победить, они всегда будут в говнище, в проиг рыше...

**ПОЧЕМУ МИТЬКОВСКАЯ КУЛЬТУРА ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ПОКА  
НЕ ИДЕТ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ**

А потому что некогда... На общих собраниях и сВездах у митьков остается очень мало времени для разработки своей культуры.

Митьки - очень добрые, им не жалко друг для друга и последней рубашки, но одно непреодолимое антагонистическое противоречие раздирает их: им жалко друг для друга алкоголь ных напитков.

Каждый митек настолько уверен в своем праве выпить го раздо больше своих собутыльников, что даже не замечает и от рицает эту митьковскую черту. (Примечательно, что формула, описывающая это явление, была найдена не в среде митьков, а зарубежным обозревателем движения: "Митек не любит пить в одиночестве, но митек любит пить один при многих свидете лях".)

Представим себе собрание трех митьков: А, В и С.

(Эти имена и события вымышлены и всякое сходство с дей ствительностью является чистой случайностью).

Все эти трое митьков принесли по бутылке бормотухи, каждый достоин равной доли - но каждый рассчитывает на боль шею. Исходя из этого, они единомышленны в решении пить не из стаканов, а из горла - ведь каждый надеется, что его глоток - больше. Митьки садятся за стол, готовясь к длительному и вдумчивому разговору, должному двинуть вперед митьковскую культуру. А (открывая бутылку): Сейчас для начала я почитаю вам Пушки на. (пьет из бутылки). В: Стой! Ты что, обалдел? С: Вот гад! А: Чего, чего? Тут мало и было! (отмечает пальцем, сколько, по его мнению, было в непочатой бутылке). С: Что ж нам, полбутылки продавали? В: (берет у А бутылку и пьет). С: Куда? А я? В: (с обиженным видом отдает бутылку. С горько смотрит на В и бутылку). А: Вон сколько выжрал! А я только приложился! С: (пьет. А молча хватается бутылку и, выламывая у С зубы, рвет на себя). С: Ну что за дела?! Я только глоточек и сделал! В: Он, гад так пасть разработал, что за глоточек всю бутылку выжирает! А: Гад! Мы только попробовали, а ты... Ну, я тогда уж допи ваю (пьет). В: Елы-палы! За что, за что так? Ты же два раза пил, а мы по одному?! А: (довольно утираясь) И я один раз пил, и гораздо меньше вас выпил. В: Ты же начинал! А: Не фига. С начинал.

В: Гады вы! Ну уж следующую бутылку я один пью (открывает бутылку и пьет). С: Куда?! Да что вы, совсем уже оборзели? Я больше всех вина принес и еще ни разу почти не выпил? В: (передавая ему бутылку): На, пей. Первую бутылку один почти выпил, так пей и вторую! У Васи Векшина две сестренки маленькие остались, а С - жирует! А: (в слезах): Так мне что - уходить?! Одни, без меня упра витесь?! С: (отдавая ему бутылку): На, пей, если Бога не боишься. Бог-то есть! Он-то знает, как ты нас обжирал! В: (наблюдая за тем, как А пьет): Нет, я вижу, не верит он в Бога! Но ничего, отплачутся ему наши слезки!

И так далее до конца собрания.

Пример, разумеется, абстрактен и показывает только тему борьбы - на самом деле ни один из моих знакомых митьков не бывает так топорен и груб в достижении своей цели - каждый из митьков имеет свой комплекс методов, которые в ходе со перничества шлифуются и совершенствуются. Из трех настоящих митьков - сумевший выпить больше добился заслуженной победы в честной и равной борьбе.

И методы этой борьбы - органичная часть митьковской культуры.

IV

#### РЕФЕРАТ ПО СТАТЬЕ А.ФЛОРЕНСКОГО МИТЬКИ И КУЛЬТУРА"

Работа А.Флоренского, как и другие известные мне труды о митьках, начинается с безудержного восхваления движения.

Кратко перечислив ряд социалистических и капиталистических стран, вовлеченных в движение митьков, автор подробно останавливается на вкладе в дело митьков И.А.Кирилловой (то один, то два рубля на пропой А.Флоренскому). После этого вступления, которое можно считать посвящением, автор переходит к теме своей работы.

Первый раздел - митьки и живопись. Поставив этот сложный вопрос, Флоренский сразу отделяет "митьковскую живопись" от живописи "любимой митьками", очевидно, следует понимать индивидуальные и групповые вкусы отдельных митьков. Один из самых любимых художников всех известных мне митьков - Се занн. Является ли он митьковым художником в том же смысле, что и бесспорно митьковский, но не любимый митьками Перов? Вопрос этот сложен и относится к культуре в целом).

Флоренский перечисляет ряд кристально-митьковских про изведений отечественной живописи, митьковость которых бесспорна уже исходя из названий: "Бобыль-гитарист", "Рыболов или охота пуще неволи", "Всюду жизнь", "Чаепитие в Мытищах", "Приезд гувернанток в купеческий дом", "Последний кабак у заставы" и т.д. (Ценнейшей частью работы А.Флоренского являются факсимильные копии с наиболее митьковских произведений живописи.)

Покончив с бесспорным вкладом передвижников в культуру митьков, Флоренский

оказывается в некоторой растерянности о чем же еще сказать?

Живописная чистоплотность мешает ему приступить к восхвалению таких произведений, как, например, "Опять двойка", поэтому напрашивается вывод, что кроме чисто митьковых даных, митьковская живопись должна быть еще и хорошей.

Автор переходит к разбору западноевропейской живописи, который у него занимает несколько строк:

"В западноевропейском искусстве митьковых картин так немного, что можно было бы считать, что их там нет вообще..."

(Западноевропейские митьки рискуют оказаться лишенными всяких корней, но Флоренский великодушен):

"...если бы самая митьковская картина в мире не принадлежала кисти западноевропейского художника - Питера Брейгеля Старшего. Да, да, именно "Падение Икара".

Далее А.Флоренский предоставляет слово Д.Шагину:

"Шурка! Вот, значит, как... Солнышко светит, всякая тварь живая оттягивается. (Митька рассказывает так, будто говорит о событии, которому 5 минут назад был очевидцем, Ну, и? - спросил я, - ты к чему это?) - Дык... Шуренок... Птички, звери... Пахарь со своей лошадушкой оттягивается, а у Икарушки-то... У Икарушки одни только ножки торчат!"

Митька вскоре даже написал стихотворение об этом несправедливом событии. Конец его я привожу по памяти: ... И одни только голые ножки торчат из холодной зеленой воды".

Точности ради должен сказать, что Митька написал не стихотворение, а поэму (по его определению) "Бедный Икарушка". Вот полный текст поэмы, который Флоренскому, без сомнения, следовало привести полностью: БЕДНЫЙ ИКАРУШКА

У Икарушки бедного Только бледные ножки торчат Из холодной зеленой воды. Это замечательное хокку теперь является наиболее цитируемым митьковским произведением. Так, на вопрос: "Как дела?", следует типовой ответ: "Только ножки торчат". Желая побольше уязвить выпившего больше собутыльника, Д.Шагин говорит: "У Икарушки бедного только ножки торчат, а Флореныч, гад, - жирует!"

(Эта фраза примечательна тем, что составлена из двух цитат, занимающих два первых места в хит-параде цитат, полный текст второй цитаты: "У Васи Векшина две сестренки маленькие остались, а бандиты - жируют!" ("Место встречи изменить нельзя").

Второй раздел труда А.Флоренского - митьки и музыка. Здесь позиция автора почти бесспорна, и уместно передать слово ему:

"Митьки любят музыку, вернее, песни, преимущественно жалостливые, причем собственно музыкальная часть не играет роли. Идеалом митьковской песни навсегда остается: У кошки четыре ноги. Позади у нее длинный хвост. Но ты трогать ее не можешь За ее малый рост, малый рост. Качество всех прочих песен определяется, пожалуй, близостью к этому эталону.

Митьки охотно слушают передачи "Песня-85", близки им и такие песни, как "Окурочек" и "По шпалам, бля, по шпалам!" в исполнении Дины Верни; важным компонентом митьковских песен является возможность хорового пения, поэтому такие произведения известного митьковского музыканта В.Цоя, как "Еще только без десяти девять часов!" неизменно вызывают восторг митьки (точнее, восторг вызывает то место песни, где митек, опережая и перекрикивая солиста, имеет возможность орать припев).

При всем уважении к эстрадной музыке, даже первосортные вещи "Битлз" митек не предпочитает таким песням, как "Жил в Одессе парень-паренек", или той песне без названия, где повествуется, как преуспевающий герой Пьяный и в своей машине Со своей красоткой Зиной Навернулся с Крымского моста.

Для многих митьков еще большую ценность представляют советские песни военных лет, например "На поле танки грохотали", не является исключением любовь и к песням с

малорос сийским уклоном: Дождичком умытый, Я лежу убитый.

Конечно, трудно перечислить все направления любимой митьками музыки, но странно, что А.Флоренский не счел обяза тельным упомянуть музыку группы "Аквариум", представляющую митьку, например, Д.Шагину, лучшую (как это ни кажется странным) возможность для хорового пения и жестикуляции, граничащей с эпилепсическим припадком. Впрочем, Д.Шагин предпочитает даже не хоровое, а сольное исполнение песен

21

Б.Гребенщикова (сольное в смысле исполнения самим Д.Шагиным, что является для окружающих отличным тренингом христианского смирения).

Митьки любят и джаз, и классическую музыку. Любовь (впрочем, чисто теоретическая) Д.Шагина к Моцарту заслуживает почтения. Однажды я был свидетелем таких слов, сказанных Митькой начинающему зарубежному митьку: "Ничего, у вас, немцев, тоже были хорошие композиторы. Бах был, потом этот... Бетховен, Моцарт... Хотя, нет, Моцарт был русским". Даже произнося покровительственно-утешительную речь, Митька пожа лел отдать Моцарта немцам!

Впрочем, во многих из этих случаев речь идет не только о "митьковской музыке", но и о "музыке, любимой митьками". Этот нюанс учтен в следующем разделе труда А.Флоренского митьки и литература. Не касаясь круга литературных интересов отдельных митьков, ибо он очень разнообразен, автор указывает на вершины собственно митьковской литературы. Это Зоценко, прежде всего - "Рассказы о Ленине", поваренная книга Е. Молоховец (раздел "Водки разные"), рассказы Н.Лескова, винные этикетки и т.д.

Флоренский ограничивается перечислением, не вдаваясь в рассмотрение истоков и направлений митьковской литературы, видимо, предоставляя эту благодарную задачу последующим исследователям. Так же поступлю и я, указав лишь на книгу, дол жную стать настольной для каждого митька - "Антон-горемыка".

На литературе Флоренский обрывает свое повествование, не соблазнившись даже замечательной темой "Митьки и кино", зато отметив весомый вклад митьков в развитие отечественного плавания.

#### РЕФЕРАТ ПО СТАТЬЕ А.ФИЛИППОВА "МИТЬКИ И СЕСТРЕНКИ"

После нескольких абзацев безудержного восхваления движения митьков А.Филиппов берет быка за рога и выдвигает свой главный тезис:

"Относительно такого важного общечеловеческого вопроса, как отношение мужчин и женщин, хочется сказать сразу: кроме физиологического различия полов у митьков нет ничего общего с общечеловеческим пониманием этого вопроса".

Будучи несколько обескуражен этой фразой, я обратился за разъяснениями к А.Филиппову, но после разъяснения так и не понял, откуда же в таком случае у митьков берутся дети, и где же, в таком случае, сам А.Филиппов шатается по ночам.

"Как только митек скатывается на общечеловеческое понимание этого вопроса, он перестает быть митьком, бывший митек начинает есть всех братков с говном и пропадает неизвестно где, - где, без сомнения, жирует".

После этого предупреждения в стиле Саваноролы Филиппов ставляет свой грозный тон и начинает задушевное повествование о близких ему вещах.

"Женщины (это слово в лексиконе митьков отсутствует) делятся в понимании митьков на две категории: девки и сестренки".

(Замечу, что слово "женщина" действительно напрочь отсутствует в лексиконе Фила, он пишет это незнакомое ему слово так: "Женьщина").

Первый раздел - девки.

22

"Под девками, - сразу оговаривается автор, - отнюдь не понимается известный образ поведения, ничего обидного в этом определении нет".

Метко приведенное, видимо, фольклорное четверостишие, сразу определяет и отношение митьков к девкам, и обычный круг забот и интересов митька, и идеальный

способ его существования: "Выйду за деревню, Гляну на село: Девки гуляют, И мне весело!" Далее следует строгое определение девок:

"К девкам относятся лица женского пола от 10 до 50 лет, привлечшие внимание митька и доставившие ему поверхностное удовольствие своим внешним видом или поведением (в этом смысле девки подобны коту-оттяжнику в I части "Митьков"). В единственном числе слово "девки" почти не употребляется, как в силу стадного поведения объектов, так и в силу того, что митек в связи с дефицитом времени предпочитает общаться с несколькими девками сразу".

Последующие рассуждения А.Филиппова показывают, что под "доставлением поверхностного удовольствия" он понимает только одно: процесс совместного алкогольного опьянения. Основательное знание темы помогает автору нарисовать (не без цели саморекламы) поистине захватывающую картину.

С каким-то разбойничьим восторгом автор постоянно упоминает "бисерные кошечки" девок, опустошаемые А.Филипповым во имя движения. Разухабистые сцены распития "дамского вина". ("Дамским вином, - поясняет Фил, - является любое вино, выпиваемое вместе с девками за их счет") уводят автора все дальше от надрывной ноты, открывшей его труд. Митьки в его описании начинают походить на веселых, бесшабашных ребят, вроде панков, любителей выпить и погулять.

Я пишу эти строки поздним вечером на троллейбусной остановке, а рядом веселится такая вот компания. Они агрессивны но хохочут, плюются во все стороны, пьют из горла, обижают прохожих... Не митьки это, нет! Митьки стояли бы тихонько, плевали себе под ноги, переговаривались печальными голосами, только изредка повышая их при передаче друг другу бутылки, и это митьков бы обижали прохожие.

Впрочем, я невольно перегибаю палку в другую сторону лик митька разнообразен: это Гамлет, Антон-горемыка и Фальс таф в одном лице.

А.Филиппов раздел "Митьки и девки" посвящает одной, более близкой ему ипостаси митька - оттяжке, но последняя фраза раздела показывает и другую сторону медали:

"Митек, что ни оттягивается, то мучается, а что ни мучается, то оттягивается. Чтобы спастись от мук, он прибегает к оттяжкам, принимая во имя их еще большие муки, а следовательно, стараясь унять их еще большими оттяжками и т.д."

Второй раздел труда - сестренки.

"В отличие от девок, сестренка - это подруга митька, делящая с ним многие муки и оттяжки (но далеко не все). Кроме этого сестренка должна разделять взгляды митька, таким образом, она является уже почти полноправной участницей движения.

Существует единственный путь обращения девок в сестренки - оттяжка. Девки (чаще всего обращение происходит скопом) должны устроить митьку достойную оттяжку, да не одну. Затем

23

девчоночки сдают экзамен, то есть очередную оттяжку митька устраивают в присутствии других, необращенных девок, просявляя при этом движение митьков.

Если у сторонних девок пробудился живой интерес к митькам, и они своими бисерными кошечками примут активное участие в оттяжке, экзамен можно считать сданным".

В этом определении сестренок (которое вряд ли получит признание со стороны эмансипированных сестренок) переходную стадию от девки к сестренке Фил обозначает как "девчоночку". Однако, это вряд ли правомерно. Наиболее меткое определение "девчоночки" принадлежит самому Филиппову:

"Девчоночка - промежуточное название девки, употребляемое лишь во время стояния с ней в очереди (самостоятельного значения не имеет)".

Приведу-ка я весь оставшийся текст раздела целиком, уже не много осталось:

"Сестренки в награду, как знак принадлежности к высшей категории, получают

любовь и уважение митька, а иногда и по четные титулы: "одна ты у меня сестренка", "любимая" или "единственная" сестренка ( эти титулы употребляются по отношению к трем разным сестренкам). По неизвестным причинам самое распространенное имя для сестренки - Оленька. Феномен этот необъясним, но почти у каждого митька есть сестренка Оленька, имеющая один из трех титулов".

Спорным моментом этого в целом содержательного раздела является антифеминистский настрой, помешавший автору заметить такой любопытный нюанс: высшим сестреночным титулом после "одной ты у меня", "любимой" и "единственной" является... "братушка"!, что, казалось бы подтверждает подчиненное по отношению к митьку положение остальных сестренки. Но любопытно, что сестренка называет митька (удостоившего ее высшим титулом) ... "сестренкой"!

Вряд ли можно так безоговорочно принять суеверный тезис о сестренках Оленьках, хотя их действительно навалом, и среди них есть даже жены митьков (жены митьков тоже могут до биться титула "сестренка", но им это, конечно, труднее...)

Последний раздел работы Фила имеет интригующее, обещающее успех у читательской массы, название: "Митьки и секс".

Раздел краток. Вот он:

"Митьки не сексуальны".

После этих справедливых слов А.Филиппов, видимо, устыдившись, откладывает перо, даже не поставив точки.

Попробую расшифровать эту фразу, связанную с тезисом, объявленным в начале труда.

Многие люди, но особенно митьки, стремятся к экстремальности в отношениях друг с другом. Экстремальные же отношения мужчины и женщины почти неизбежно проходят сексуальную фазу и тем самым оканчиваются женитьбами, трагедиями и т.п. Если бы митек относился к своим сестренкам как к сексуальным объектам, то это неизбежно похоронило бы все движение митьков лавиной женитьб, трагедий, мордобоев и т.д.

Поэтому-то экстремальность в отношениях с "любимой" сестренкой означает, что митек объявляет ее "братушкой", а свое либидо переносит на что-нибудь другое - хотя бы на "бисерные кошелечки".

24

V

#### ЭТИКА МИТЬКОВ

Тебе теперь весело только

с твоими митьками погаными!"

(из разговора с женой)

Вон как оно получается! Массовое! Молодежное движение, и вдруг: "Митьки не сексуальны". Да на хрена, спрашивается, нужно нам такое массовое молодежное движение, кто в него пойдет?

Прошлой зимой по телевидению с закономерным успехом демонстрировался телефильм "Милый друг" по Мопассану, фильм абсолютно митьковский, ни одной цитаты из него не выжать и даже в пример неловко приводить.

Мне довелось (или лучше сказать, посчастливилось) смотреть его с Дмитрием Шагиным. Не буду скрывать: Митька смотрел телефильм без напускного равнодушия, не хулил его за полное отсутствие митьковских данных и проявлял, скорее, восторженность и радостное изумление. Комментарии его были даже оживленнее, чем при просмотре митьковской классики.

-- Во! Еще одна лялька! Сейчас он ее покроет! Гляди, гляди... Ты гляди. Гляди... Ну, точно! Покрыл!

Это веселье резко контрастировало с холодностью и плохо замаскированной завистью остальной аудитории, которая не могла отнестись к персонажам столь отстраненно. Митька воспринимал любовные похождения героев телефильма как

забавное поведение экзотических зверюшек (характерно в связи с этим использование животноводческого термина "покрыл").

ПОКРЫТЬ (кого-либо) - Оплодотворить (о животных; спец.)

С таким же любопытством и восторгом Митька наблюдал бы, например, за необыкновенной способностью слона сВесть за раз несколько центнеров капусты.

-- Во! Еще один качан берет! Сейчас он его сВест! Ты гляди, гляди... Ну точно! СВел!

Да и у кого эта способность слона-оттяжника не вызовет веселого интереса! Но и при большой любви к капусте я лично зависти к этому слону не испытываю. Не станет человек от хо рошей жизни сосредотачивать все свои помыслы ни на капусте, ни на бабах. Тут, собственно, и этика не при чем.

-- Да, лихо это у "милого друга" выходит. А жалко его... Бедный какой! Скучно ему, ничего-то ему не интерес но...

Митек делается свободен от греха не истерическим отво рачиванием, не с пеной тоски - а со смехом и жалостью.

И пусть это отпугнет колеблющихся неофитов движения, но недаром глава Фила "Митьки и секс" так кратка: "Митьки не сексуальны" - без всяких проклятий, а просто есть вещи поин тереснее.

-- Это что же поинтереснее? Пить бормотуху, вырывая друг у друга бутылку?

Да, читатель, конечно, я раскрыл митька для самой жес токой критики - на, ешь его с говном! - и это одна из самых обаятельных черт движения: грех митька - нараспашку!

Где-то я слышал замечательное рассуждение об этике со ветских панков: есть мораль, а есть нравственность. Мораль это не ругаться матом, а нравственность - не предавать дру зей. У панков нет морали, а есть нравственность. Если бы это было действительно так - митьки готовы брататься с панками

25

(хотя если принимать это положение буквально, получится, что митьки обладают не только нравственностью, но и моралью они никогда не ругаются матом. Зачем? При таком мощном арсе нале выразительных средств - мат бледен и убог).

Мораль - это нечто искусственное, это шлагбаум, который предупреждает о некоторых возможных неприятностях. Но карли ки легко проскальзывают под ним, а великаны перешагивают, не замечая; да и нужен ли такой шлагбаум, который всегда зак рыт? Мораль нужна тем, для кого все должно быть тип-топ, ши то-крыто, чистые глаза, приятные разговоры и каждый день нож в спину.

Нет, у митька грех - нараспашку. Не отдал белье в пра чечную, пропил два рубля, поздно пришел домой; но зато: это и все его грехи, видные всему миру, все ругают митька, и первый ругает себя сам митек.

Пошел-бы ты, читатель, с митьком в разведку? Он не пре даст тебя, он явится в эту разведку с ласковой поддатой улыбкой, вот беда. Ну не всем же ходить в разведчиках, раз ведка - это совсем не в духе митька

-- Знаем, знаем, в духе митька - вырывать у друга бу тылку бормотухи!

Да, читатель, у друга иной раз можно вырвать бутылку бормотухи, иной раз это даже обязательно нужно сделать. Да что говорить! Разведка - разведкой, бутылка бутылкой, но ес ли мне придется обороняться от всего света, я хотел бы прис лониться спиной к грязной тельняшке митька...

Да, митьковская культура пока не идет семимильными ша гами, но страшный образ бутылки, вырванной у друга - не ис черпывает сложный образ митька.

Есть такой праздник - День Митьковского Равноденствия (это непонятное название сложилось исторически). Праздник не отмечается по определенным датам, он может отмечаться и раз в месяц, и раз в неделю, и каждый день. Часто он совпадает с показом по телевидению митьковской телеклассики (правда, на эти дни есть свои, отдельные праздники, например, "АдВютант его превосходительства сухой" - просмотр телефильма без вы пивки, или "АдВютант его превосходительства мокрый" - с вы пивкой).

Представим себе сВезд троих известных нам митьков А, В и С, собравшихся, чтобы отметить День Митьковского Равноден ствия. А: Сейчас для начала я почитаю вам Пушкина. В: Подожди, дорогой. Ведь сегодня День Митьковского Равно денствия. Давайте я сначала сбегаю в магазин. У меня и день ги есть. С: Что ты! Ты каждый раз больше всех приносишь! Давайте я сбегаю. А: Нет! Хоть на куски меня режьте - не могу я больше за ваш счет пить! Я пойду!

(А убегает в магазин. В и С в это время украшают поме щение транспарантами и плакатами с лозунгами типа: "МИТЬКИ НИКОГДА НЕ ХОТЯТ ПОБЕДИТЬ", "МИТЬКИ ВСЕГДА БУДУТ В ГОВНИЦЕ" и "МИТЬКИ ЗАВОЮЮТ МИР".

А возвращается и ставит бутылки на стол. Обычно тут следует короткая разминка, во время которой митьки ходят вокруг стола, как кот вокруг сметаны.) А: Дядя Захар, а бывает она, настоящая-то любовь? В: Бывает, Натаха... Лучше уж я в клифту лагерном на лесосе ке, чем в костюмчике у Фокса на пере. А что это, Абдулла,

26

твои люди подпалить чего хотят! С: Да вот забрался тут один приятель и не выходит! Как быть-то, Иван Петрович? Сам в КГБ позвонишь, или мне зво нить? А: Складно звонишь, но одного не учел: не стала бы Аня на Петровке колотья! В: Не стала бы, говоришь? Со мной и не такие бобры сидели, а все кололись! Джабдед убил моего отца, меня хотел закопать! С: Встань, хряк! Володя! Открывай, волчина позорный!

(Разминка закончена, митьки открывают бутылки и садятся за стол). А: Ну, сейчас для начала я почитаю вам Пушкина! В: Нет, дорогой, для начала выпей. А: Выпей ты первый. В: Нет, братки, дорогие! Хватит мне вас обжирать! Пейте спо койно, с душой - а я посмотрю на вас и порадуясь. С: Ну зачем ты так? За что ты так? Ты всегда меньше всех пьешь, и сейчас не хочешь? Не обижай, выпей! В: А вы от души мне предлагаете? А и С хором: Пей, пей, дорогой! В (со слезами умиления пьет). А и С: Еще, еще пей! В (протягивая бутылку С): Сердце у меня рвется глядеть, как ты и плоточка как следует сделать не можешь! Допивай всю бу тылку до конца! С: (чуть глотнув, поспешно протягивает бутылку А): Пей, бра ток, ты! Образ Божий я в себе чуть не затоптал, вас обжирая чи! Пей, сколько есть в тебе силы! А (кланяясь во все четыре стороны и делая движение поцело вать землю): Отопью я глоточек самый маленький, чтобы вас не обидеть, и прошу у неба и земли, и у братков своих прощение за всю прорву, что за ваш счет вылил себе в пасть, яко в бездну бездонную, и никогда уж больше... С (прерывающимся от волнения голосом): Всегда! Всегда теперь будешь пить, сколько тебе полагается, хватит мы тебя обижа ли! А (кобенясь и давясь от умиления, пьет). В и С хором: Пей до дна! Пей до дна!

И так далее до конца собрания.

Вот какие митьки хорошие, добрые! А сколько про них хо дит нелепых, злых слухов - и в основном потому, что не могут отделить исторической реальности от митьковской мифологичес кой символики.

Поговаривают даже о сексуальной распушенности митьков, что уж ни в какие ворота не лезет. Митьки, как известно, не сексуальны настолько, чтобы кичатся этим - Д.Шагин, напри мер, тщеславно утверждает, что ни разу в жизни не знал жен щин. От этих разговоров ему делается гордо и горько; он гла дит по головам своих троих дочерей и жалостливо закусывает губу. И так это все высоко и благородно, что язык не повер нется спросить - откуда три дочери-то? Я однажды решил спросить: под давлением фактов, Д.Шагин признался, что все- таки да, три раза в жизни он знал женщину (показательно, что назло своему свободолюбию, митьки плодовиты, как кролики).

Итак, вопрос: откуда в общественном мнении появляются порочащие нравственный облик митьков сведения? Ответ: из митьковской мифологии. Сознание неразвитого слушателя выхва тывает из мифа не суггестивные слои, и даже не мораль, а то, что это неразвитое сознание принимает за факты. Проследим

27

это и опровергнем на примере двух мифов, сложившихся в мить ковской среде примерно в одно и то же время.

#### НЕВЕСТА. РАССКАЗ ФИЛА.

Однажды Фил решился показать свою невесту (Оленькой звать, конечно) Флоренычу - смотрины устроить.

Долго с ней мотался по улицам, не решался, все сомнение брало - понравится ли Флоренычу невеста; замерз, как собака, бедный, больной, не жрамши с утра. Наконец купил бутылочку винца - приходит к Флоренычу.

Сидит Флореныч. Пьяный в жопу, рожа красная, уминает яичницу с ветчиной.

Фил сел напротив на табуретку, поставил на стол винца бутылочку, волнуется, ждет, что Флореныч скажет.

Флореныч умял яичницу с ветчиной, все вино, что Фил принес, выжрал, потом пододвигается к невесте и начинает ее мацать: сиськи гладит, под платье лезет. Видно, собирается использовать право первой брачной ночи. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВО ПЕРВОЙ БРАЧНОЙ НОЧИ (мифологич.) - манера А.Флоренского держать себя с подругами своих знакомых.

У Фила в глазах потемнело; опустил голову, сжал челюс ти, одни только ножки торчат.

Да сердце не каменное - схватил со стола нож и бросил во Флореныча. Но или Фил так дрожал, или Флореныча шатало а только нож в невесту попал, чуть-чуть по щеке проехал так и остался шрамик. Маленький, белый, под глазом.

#### НЕВЕСТА. РАССКАЗ ФЛОРЕНЫЧА.

Сидит однажды Флореныч - бедный, больной совсем, холод но. Пришел с работы не жрамши, устал как собака, спину ло мит, башка разламывается; сидит на табуретке, одни только ножки торчат.

Сделал себе яишенки с ветчинкой - дай, думает, хоть раз в жизни покушаю спокойно.

Приходит Фил. Пьяный в жопу, рожа красная, двух лялек под мышками держит. Причем одну ляльку для смеха невестой называет, Оленькой.

Сел Фил за стол, яичницу с ветчиной умял: винца буты лочка у Флореныча была припасена - выжрал. Поставил стакан, вилку положил и начинает одну из лялек (не невесту, а дру гую) мацать. Сиськи гладит, под платье лезет.

Флореныч бедный, напротив сидит на табуретке, смотрит а у невесты Филовой одни только ножки торчат. Голову опусти ла, плечики вздрагивают, носом захлюпала. Флореныч думает, может, правда невеста? Пододвинулся к ней: не плачь, мол, это он нажрамшись такой, - и по спине погладил.

Вдруг Фил вскакивает, рожа пьяная, красная, схватил со стола нож и бросил во Флореныча. Не попал, конечно, а невес ту-то задело, чуть-чуть нож по щеке проехал - так и остался шрамик. Маленький, белый. Под глазом.

Любопытно, что обе эти истории от первого до последнего слова - фантазия, точнее - митьковский миф с характерными мифологическими штампами. Оба рассказчика, например, не сго

28

вариваясь, употребляют в мифах светлый образ "яичницы с вет чиной", которой, как понятно каждому, не было, не будет, и быть не может в мастерской А.Флоренского.

Основой мифов послужило то обстоятельство, что Флореныч и Фил действительно пили (как и каждый день) в мастерской с сестренкой Оленькой, у которой под глазом есть маленький бе лый шрамик от того, что она в детстве упала с горки.

Зачем-же понадобилось Филу и Флоренычу так чернить друг друга? Затем, что они на пользу движению создают митьковскую мифологию, невзирая на лица. Оба рассказа несут в себе одну и ту же нехитрую мораль: одни только ножки торчат - хорошо, судьба карамелька - плохо. Отрицательный персонаж - сытый, пьяный, довольный, пользующийся успехом; положительный бедный, больной, голодный.

Так что же, митек - это обязательно бедный, больной, голодный? Нет, это справедливо только для данного мифа.

Что такое митек - сформулировать трудно. И вообще, я больше не могу сказать, что такое митек.

Дело вот в чем: первые части "Митьков" написаны отстраненно, это взгляд на движение извне. Но каждый, кто хоть на короткое время остановился поглазеть на победное шествие митьков - сам, как магнитом, втягивается в их ряды.

Любое определение движения, сделанное самими митьками очаровательно, но не полно (Например, один из пионеров движения, А.Горяев, в своей работе "Митьки и живопись" выдвинул такое определение: "Митек - это человек, который тонко чувствует прекрасное").

Так что я больше не могу быть бесстрастным и объективным наблюдателем движения и вынужден отложить перо - я уже не думаю о том, что такое митек.

Как не может человек, живущий полной жизнью, ответить: зачем ты живешь? И художник: зачем писать картины? И не стал Гребенщиков отвечать на вопрос телезрителей: почему ты поешь?

Что такое митек? Сколько звезд на небе? Зачем растут цветы?

## Русский рэп

Исполнитель: Лигалайз

Название песни: Русский Рэп

Оу, оу! Русский рэп! Оу, оу!...

Оу, оу! Русский рэп! Оу, оу!...

Русский рэп - мой рэп - это вспышки света!

Правдивые куплеты, иногда как удар кастета -

Жестко. Иногда, слышит даже самый черствый.

Чувствую русский рэп.

Я воскрешаю имя, мое возвращение необходимо.

Неважно, что там говорили, они ввали, ввали.

Ты не слышал русский рэп, пока я не коснулся этим стали.

Баловень судьбы, золотой голос России, кого подростки

Считают, чуть ли не мессией, ас убойных фраз,

Брюс-Лигалайз, я - Underground, как метро.

Old School, как Адидас.

Смотри, я направляю в зал свой тепловой удар

Когда Микро я взял, я плаваю сталь, как сталевар.

Интеллигентный хулиган, тебе знаком мой стиль?

Как только я стал виден - звони 01!

Классика русской рифмы, Know Now, далеко от Moscow

Толпа кричит Wow!!! Когда Лига преподносит flow по-русски

Я тот человек, кто сделал русский рэп искусством.

Чувствуй, как в такт с рэпом мое сердце бьется,

Лига - 10 лет кто не сдастся.

Чемпион - владею словом, как боксом:

Кто хочет тягаться, тот за\*б\*тся!

Русский рэп! Оу, оу!...

Оу, оу! Русский рэп! Оу, оу!...

Русский рэп - мой рэп - это вспышки света!  
Правдивые куплеты, иногда как удар кастета -  
Жестко. Иногда, слышит даже самый черствый.  
Чувствую русский рэп.  
Я воскрешаю имя, мое возвращение необходимо.  
Неважно, что там говорили, они ввали, ввали.  
Ты не слышал русский рэп, пока я не коснулся этим стали.

Я воплощаю в рифме концепции, я делю такты на септы и терции.  
Мой микрофон в состоянии эрекции,  
Я отдал бумаге и ручку, и сердце.  
Рэпер! Пишу куплеты, живу этим...  
Проживаю одну жизнь в одном куплете.  
Живу, а значит, вижу, значит, говорю.  
Смотри, я раскрываю душу и тебе дарю свой русский рэп.  
Атака словом, был здесь первым самым, нет второго!  
Чистая энергия бьет из колонок.  
Несколько тысячный зал раскочан, по любому!  
Русский рэп - это моя стихия,  
Лигалайз неприкасаемый, неуязвимый!  
Делай, что ты должен, пока я пишу картину.  
Сейчас, сегодня, здесь почувствуй силу!  
Это русский рэп! Оу, оу! ...

Русский рэп - мой рэп - это вспышки света!  
Правдивые куплеты, иногда как удар кастета -  
Жестко. Иногда, слышит даже самый черствый.  
Чувствую русский рэп.  
Я воскрешаю имя, мое возвращение необходимо.  
Неважно, что там говорили, они ввали, ввали.  
Ты не слышал русский рэп, пока я не коснулся этим стали.

**Текст песни Баста и КРП**

### **Этот миг**

Иногда ты видишь небо, льются слезы из глаз моих.  
Я благодарен небу за этот миг, за этот миг.  
Иногда ты видишь небо, льются слезы из глаз моих.  
Я благодарен небу, за этот миг, за этот миг...

Я у неба украду немного правды,  
Немного света в темноте, просто мне сейчас надо,  
Немного теплых слов, немного красочных снов,  
Чтобы по венам бежала разбавленная кровь,  
Мое сознание тонуло в одиночестве,  
Мои страдания отображу я в творчестве,  
Оставив в памяти воспоминания,  
Цветными картины в паутине моего сознания,  
Как не потерять себя в череде серых дней?  
Когда каждый шаг дается трудней и трудней,  
В толпе людей не утонуть, не захлебнутся тоской,

Остаться честным, хотя бы самим собой,  
И оказался тонущим попросив о помощи,  
Господи знаю сможешь, поможешь мне,  
Я видел много зла, я зла не боюсь,  
За тех кто причинял мне боль я тихо помолюсь.

Ты видишь небо, льются слезы из глаз моих...

В моих глазах солнце, ветер поднимает пыль,  
Вместо сказок, в моих тетрадях только быль,  
Читать по нотам вот моя работа,  
Двадцать тысяч под землей высота полета,  
Двадцать два года, день за два, жизнь в дыму,  
Кому я должен? Ничего и некому.  
И проиграв войну, я возвращаюсь домой,  
Вовлекшись в тихий разговор самим с собой,  
Поговори со мной небо, один на один,  
В войне самим с собой я не победим,  
Я ненавидел любовь, но я любил ненавидеть,  
Я мог обидеть, не заметив что кого-то обидел,  
Я много раз видел, когда другие мечтали,  
Я строил свой мир собирая по деталям,  
Я рисовал на нотном стане, радость и грусть,  
И пусть увидит только небо о том, как я молюсь.

Иногда ты видишь небо, льются слезы из глаз моих.  
Я благодарен небу за этот миг, за этот миг.  
Иногда ты видишь небо, льются слезы из глаз моих.  
Я благодарен небу, за этот миг, за этот миг.

Ты видишь небо, льются слезы из глаз моих.  
Я благодарен небу, за этот миг, за этот миг...

Текст песни Баста (feat. Aliya) - Смерти нет

Смерти нет, смерти нет..  
О чем мы мечтали, безумные идеи  
Верили в то, что делали, пытались обмануть время,  
Скорей бы стать старше покорители мира  
Рушили преграды, поиск своего стиля  
Нас считали безумцами, на пятом домашняя студия,  
Странная музыка  
Долбили в стены соседям децибелами  
Ближних удивляя новыми треками,  
Поездки, концерты, благодарность зрителей  
Желая просто петь, вот чем жили мы  
Нас не парили ничтожные гонорары,  
Главное, сегодня брат, жжечь доталово,  
Молодые, беспечные, терки о вечном,  
Красотки, выпивка и кое-что покрепче,  
Рэпчик, поверх бредовый фристайл,

Жаль, что тебя больше нет с нами...

Припев:

Куда улетают, куда улетают?  
Зачем оставляют нас одних? А-а-а-а-а  
Я точно не знаю, я точно не знаю,  
Но мы помним о них, мы помним о них  
Мы помним о них

Воспоминания, уже не так больно,  
Слушать наши треки, смотреть старые фото  
Бегут годы, мне 27,  
Как и тебе тогда брат, мир всем  
Ты был старше, учил меня жизни  
Ошибки, шансы, за все тебе спасибо  
Стрела под риштом, их человек двадцать  
Я виноват, раскачаем малой, не парься  
Ты говорил, все в наших руках  
Верь в людей, но лишь единицам доверяй,  
Помни о маме, ведь только она,  
Всегда будет верить тебе и в тебя,  
Играй те роли, что тебе по зубам,  
Выбирай сам куда идти и не отступай,  
Что бы ни случилось помни об одном,  
Я всегда буду рядом с тобой

**Текст песни Noize MC**

**Песня Для Радио**

Песня для радиоэфира - вот она, готова!  
Ни одного плохого слова, и припев попсовый.  
И пусть попробуют ко мне только потом придраться:  
Мол, это не подходит по формату нашей станции!  
Я ни одной запретной темы в тексте не затронул,  
Не противоречил ни морали, ни закону:  
Ты спросишь, для чего вообще я вышел к микрофону?  
Ну, рэппер должен ведь что-то читать поверх музона!  
Ни слова о наркотиках, ни слога о политике,  
Ни буквы в адрес недовольных мною критиков.  
Тебя не стану я грузить о том, что жизнь ужасна,  
Типа на улицу под вечер выходить опасно;  
Типа и девушка ушла, и с деньгами плохо;  
И типа всё, что мне осталось - это ахать и охать.  
Нет, всё намного проще - сделав посерьёзней морду,  
Я бубню свой рэп под три блатных аккорда!

Назови меня попсой, обвини, в чём хочешь.  
Слушать будешь всё равно, я же знаю точно.  
У пиратов купишь диск и друзьям не скажешь...  
Назови меня попсой - не обижусь даже!

Будут на радио звонить девчонки и просить:  
"Привет десятому "Б", поставьте Noize MC!"  
Ди-джей ответит "ОК!" и нажмёт на Play,  
К радости позвонившей и её друзей.  
Потом, карабкаясь, как альпинист на Эверест,  
Я влезу в хит-парад на одно из первых мест  
И буду там висеть, покуда всем не надоест,  
А после выпущу альбом с названием "The best",  
Где будет вот этот трэк плюс двадцать пять ремиксов.  
Вот, уже вижу, как толпятся у прилавков чиксы...  
Отличный уровень продаж, куплен весь тираж,  
Вокруг моей персоны бешеный ажиотаж...  
Да, я мечтаю об этом. А вы, как будто, нет?  
Ах, вы непризнанный гений... уличный поэт...  
Ну, да, - куда мне до вас, я меркантильный жлоб.  
И мне плевать на некоммерческий хип-хоп!

Назови меня попсой, обвини, в чём хочешь.  
Слушать будешь всё равно, я же знаю точно.  
У пиратов купишь диск и друзьям не скажешь...  
Назови меня попсой - не обижусь даже!

## Текст песни МанифестЪ

### Фантастика

Наши мечты были завернуты в газету.  
Мы плыли во времени с моим племенем.  
И до сих пор с теми я, с болью в темени.  
Одноклассницы уже беременны, а мы всё ищем зелени  
с мечтами о премии. Шабилы в кельи,  
Приносили людям смех, как музыканты  
Из Бремена. Уверенно и добровольно  
Я дымом обволакивал раны от боли снова...

Под виниловыми облаками я потерял память  
Как-то настало время, я перестал мозг плавить  
Мне бы оценки ставить, а я всё таю  
Под перламутровым настроем я улетаю.  
Беру фантастику, в плавленом пластике  
Рисуя на ладони, дарит счастья мне  
Хочу глаза закрыть и в невесомость плыть  
А мне бы только этот холод пережить.  
Свобода кажется мерина граммами  
На половину полумеры полулюди панорамами  
А вместе с ними мы, а где-то рядом я  
В дали, горит гордыня и душа моя  
Я бы забыл обо всех за девять грамм свинца  
Четыре комнаты закрыты, на них нет лица  
Я заплывал в порты, летел в небытие  
Но почему же небеса забыли обо мне.

Припев:

Фантастика, в моих глазах изо льда и пластика  
Буквально час назад я жил под капсулой.  
Я слышал крики, я слышал голоса.  
Прощайте люди, мы улетаем в небеса. - 2 раза

Живые тени по углам пугают дам,  
Напрягают мышцы, ногам не дают покоя.  
На глубине под водою скупость взглядов  
Мне даёт понять - опасность рядом.  
Словно диким стадом.  
Хотя каждый давно дышит на ладан. Пьют смерть залпом,  
Выражаясь матом: Хуево ребятам.  
Отражаясь в зеркале разбитом лицом убитым.  
Теряю контроль, в борьбе вольной.  
Я доволен, я - король, мне не больно.  
Не пугает совесть, всё это шняга.  
Что будет через год? Я просто стану старше на год.  
Всё так же буду пить манагу, как дорогую отраву.  
В бокалах Джим Бим и Баккарди.  
Ещё на старте кипели страсти,  
Как в ужастиках, это фантастика.

**Текст песни Карандаш (feat. Триада)**

**Что останется в памяти людей**

Карандаш, Триада  
Бедные тоже смеются, да

Припев:

Что останется в памяти людей,  
Если эти песни оборвёт царство теней?  
Пару строк, слов, фраз, дел,  
И всё то, что ты хотел успеть и успел.

Что останется в памяти людей,  
Если эти песни оборвёт царство теней?  
Пару строк, слов, фраз, дел,  
И всё то, что ты хотел успеть и успел.

Карандаш:

Мой рэп режут на диски, а в меня влезает в память,  
Краткость моя сестра, но это немногие знают.  
Ты можешь видеть всё, но судьба слепая,  
Сегодня ты цепляешь, завтра уже не цепляет,  
Сегодня ты в ботинках, завтра под ботинком,  
Но победитель в ринге, победитель и за рингом,  
Так ведь место не меняет твоей сути,

Мотаешь срок ты или гайки на сервисе крутишь,  
Я не звезда, звёзды не ходят на работу в офис  
Я не звезда, но на форумах много гипотез  
Кто я и что я, однако не стану о грустном,  
Ведь не сто баксов, чтобы нравится всем ну и шут с ним.  
Не зря я бросил университет на 5-ом курсе,  
Москва такая школа, фору даст любому вузу!  
И вот всё больше занимаюсь семьёй, а не рэпом,  
Ведь что останется после меня если не это...

Припев:

Что останется в памяти людей,  
Если эти песни оборвёт царство теней?  
Пару строк, слов, фраз, дел,  
И всё то, что ты хотел успеть и успел.

Что останется в памяти людей,  
Если эти песни оборвёт царство теней?  
Пару строк, слов, фраз, дел,  
И всё то, что ты хотел успеть и успел.

Нигатив:

Слухи, сплетни, глупости и бредни,  
Пустоцвет мне, муки эти,  
Ну же если, тут всё взвесить,  
В глубине и капли нет правды,  
Но обсуждается с азартом,  
Тот видел, то тот это и надо перебрать всё,  
Тот счёл моё слово понтом Вконтакте,  
И потом сотни писем и спам в аське,  
Я таков каков есть, порой суров как жесть,  
На оборот могу местами в нежность влезть,  
И не моя вина, что я не выношу вина и плана  
Как не странно жива и совесть!  
Мои друг книги, подруга, жена, любовь к дочке,  
Моё хобби работа и мама...  
И когда лист атлас до тла сгорю разбирайте пепел (???)  
И по делам судите был тёмн или светел...

Припев:

Что останется в памяти людей,  
Если эти песни оборвётся царство теней?  
Пару строк, слов, фраз, дел,  
И всё то, что ты хотел успеть и успел.

Что останется в памяти людей,  
Если эти песни оборвёт царство теней?  
Пару строк, слов, фраз, дел,  
И всё то, что ты хотел успеть и успел.

Дино:

Мне не сказали в детстве, что всё будет так,  
Громко и ярко,  
Не сказали что зима бывает жаркой,  
И каждый может выбрать стать Дони Старком,  
Писать стихи, летать, или подметать парки,  
Это мои подарки,  
Обычный фарт капли азарта плюс ломоть хлеба на завтрак видеть  
Счастливым брата,  
Улыбки без затрат, жизнь игра, чёрствый мир твой или пёстрый парад,  
Усвоить истину, что стараний стоит,  
Фальшь даже лихая подбери и я стираю,  
Её навсегда и сдеи блокнота,  
Стараюсь чтобы годы остались не только на фото!  
А сутки по часам работа это не то,  
К переменам я искренне готов!  
Не то, чтобы сцену оставить или погасить последний фитиль,  
Просто есть семья и дом всё остальное пыль..

Припев:

Что останется в памяти людей,  
Если эти песни оборвёт царство теней?  
Пару строк, слов, фраз, дел,  
И всё то, что ты хотел успеть и успел.

Что останется в памяти людей,  
Если эти песни оборвёт царство теней?  
Пару строк, слов, фраз, дел,  
И всё то, что ты хотел успеть и успел.

### Текст песни Гуфа (Guf)

#### Next People

Такая карма  
Почти что мистика  
Одолевает вопрос  
«Ну в чём же истина?»  
Своими красками,  
Своими кистями  
Покрываем холсты,  
Как осень кроет город листьями.  
Чистыми мыслями к людям не пробится  
До них не достучатся.  
Будто это снится.  
У каждого свой сон,  
Но в основном кошмары:  
Бытовуха, работа, учебные пары.  
Внутри копится

Всё больше злости.  
Вперёд по жизни на бешеной скорости  
Через пропасти  
Обстоятельства-лопасти ломают нас  
А мы строим свои крепости  
Сила верности  
А значит, все вы слабы  
Рабы материального  
Желающие славы  
вперёд по головам  
Всё на пути сметая  
Забывая о главном:  
В этом вы сильно не правы!

Mili JJ:  
Next people, это снова мы.  
К вам пришли  
Мы зовём за собой  
Чтоб привести вас в порядок  
Next people, время вам решать  
Выбирать  
Кто ваш новый герой  
И кто будет завтра

Guf:  
Как ни крути  
Но вам придётся с этим смирится  
МС47 и ГУФ  
Мы представляем столицу  
От «Infinity», мимо «Оперы»  
«Гаража» и до «Кузни»  
Мы продолжаем водить экскурсии  
Тонкая грань  
Между улицей и гламуром  
Между клубным R'n'B и подземной культурой  
И если бы вы знали сколько всего за собой там тащим мы  
Мы остаёмся настоящими  
Новые знакомства, рукопожатия  
Имена, телефонная книга переполнена  
Также переполняется моя голова  
Свежими идеями и текстами новыми  
В этом городе дорог мне так дорог весь этот народ  
Которого всё это прёт  
Все эти люди, которые любят дунуть на студии  
И что то новое придумывать ...

Mili JJ:  
Next people, это снова мы.  
К вам пришли  
Мы зовём за собой  
Чтоб привести вас в порядок  
Next people, время вам решать

Выбирать  
Кто ваш новый герой  
И кто будет завтра

Dino MC47:

Многие хотят быть звёздами для поколения  
У них не получается  
Идут на обучения  
Без своего мнения  
З самого молодую  
В головы вбивают мысли словно олово  
Я иду по холоду  
Мне плевать на золото  
Я кидаю строчки, как коктейли Молотова  
Я режу серпом и добиваю молотом  
Я знаю себе цену  
Не мерьте её в долларах  
Сколько слов сказано  
Сколько дел сделано  
Ищу свободу.  
Где она?  
Моё будущее  
Аромат манящий  
В огнях блестящих  
Зделать всё красиво  
Остатся настоящим  
Не пяльтесь в ящик  
Это пропаганда  
Мы не те, кто будет жить по командам  
Мы не те, кто подчинится делетантам.  
Мы деверсанты!  
Я выступаю гарантом!

Mili JJ:

Next people, это снова мы.  
К вам пришли  
Мы зовём за собой  
Чтоб привести вас в порядок  
Next people, время вам решать  
Выбирать  
Кто ваш новый герой  
И кто будет завтра

Next people, это снова мы.  
К вам пришли  
Мы зовём за собой  
Чтоб привести вас в порядок  
Next people, время вам решать  
Выбирать  
Кто ваш новый герой  
И кто будет завтра

**Текст песни Грани**

## Алкоголики

Тема посвящается тунеядцам, алкоголикам,  
Слушать запрещается детям, старикам и гомикам  
в бобиках  
Синяков разводят как кроликов в забегаловках ходят  
Ищут пару свободных столиков  
Мимо картонных домиков, пьяных комиков  
в топиках  
В поисках мужа кружат по лужам бабы,  
Слушай, одна бы такая туша смогла бы на ужин  
Высосать душу из сердца, из каждого синего перца.  
Местные шлюшки пьют частушки в пивнушках  
Там бьются кружки, и всех прет Пушкин  
Во зверушки  
Лешие, белки, бесы, в общем все те  
Которые живут на опушке леса  
Есть принцессы, есть принцы, есть короли  
И все бухают по черному братец  
Как ни крути,  
Але, прием семейные связи, панама  
Мой бледнолицый нигер, что скажешь, амиго?

История, которую я вам сейчас поведаю,  
Раз и навсегда исказила моё мнение  
О стадиях алкогольного опьянения  
Я на всю жизнь запомню те движения.  
Краткое содержание того что было:  
День рождения друга, только начало  
Все гости еще в силах, пьют пиво  
Кто-то водку, коньяк,  
Но никто не может напиться никак  
Так как закусок море, холодных, горячих  
Все очень вкусно, вот только хлеба не густо  
Ну и хуй с ним.  
У одного лишь Эдика в желудке пусто.  
И вот все в меру сытые, в меру пьяные  
Включая Эдика, расположившись на диване  
Стали употреблять дары и бога джа  
Хранившиеся у именинника в кармане  
Тут-то все и началось, Эдик стал гнать  
Он превратился в клоуна,  
Ну и давай исполнять такие номера,  
Что и в цирке-то увидеть нельзя,  
Свою миссию он начал  
С разбрызгивания воды из аквариума  
Бился головой об стены, падал на пол  
Раздевал себя, лапал, зачем-то плакал  
Рычал, корчил рожи, почти на всех кидался  
Потом на кого-то обиделся, плевался,  
Снова то одевался, то раздевался

Если бы вы знали как я смеяться заебался.  
Я уже хотел позвонить в 03,  
После пяти часов истерики,  
Что-то хрустнуло в моей груди  
И что выдумаете?  
Скорую все же вызвали, только для Эдика  
Такого я не видел в жизни.  
Он свою челюсть то ли выбил, то ли вывихнул  
Когда его врачи забрали  
Я вздохнул и сделал вывод  
После стадии коматозного опьянения  
Наступает еще коматознее стадия Эдика.

Ой бабоньки, я щас уссуся,  
Наливочка выходит, держись Маруся  
Вон Дуся скачет тужься, тужься (давай быстрее)  
Ой не могу, ой помираю, скорую живее.  
Интубируйте! Да не туда и не так,  
Открываешь, разливаешь, тост и в овраг  
А там водочки, тётя давай наливочки  
На закуску семечки, ой щас спою девочки!

Каждый день, каждый день, залиты глотки  
Паленой водкой  
И наплевали на печенки  
И мальчишки и девчонки,  
Улыбаются и убираются  
И неважно где, неважно где  
Держать бутылку в трясущейся руке,  
Я вам одно скажу ребятки  
Будет все у вас в порядке  
Если круглый год пить только то что прет

Солнце тлело, уже темнело 3 пьяных тела  
Пили смело под окном, вагон сэма  
Обоссанные стены оближешь пальчики  
Пластмассовые стаканчики, тост За вас мальчишки  
Синяки исполняли, танцевали Буги-буги  
Всех пацанов закрывало в округе  
Прижав руки к животу думал умру от истерики  
Верите так же истекало  
Когда я видел ебало  
Местного синяка Васи,  
Когда в моём дворе он выдавал на контрабасе  
Для тети Аси  
Чтобы простила, да домой пустила  
О чем он раньше думал, теперь  
Поставил Вася кеды в угол.  
Кстати те мужики в конце-концов нажрались,  
Там же проблевались  
Еле поднялись  
Когда пытались затащить их в бобик

Мусора продажные,  
Хули вы ржете такое может быть с каждым

Преисполненный восторгом  
Попадаю в морг я  
Как свинья двумя часами ранее нажрался  
Знаете сами как бывает, нехуйственно подрался,  
Все бы было ничего, да только череп проломался  
Тут все кидаться на поиски врача сгоряча  
БСМП, ну и т.д. и т.п.  
Доктор перегаром дышит  
Ровным счетом ни хуя не слышит  
В своём ебаном фонендоскопе  
Тишина как в жопе  
Пока там суть да дело, паника  
Меня снесли санитары в холодильник подвальчика  
Очнулся я на третьей полке тьма вокруг  
И вонь испорченной селедки  
С пьяну я подумал, что на подводной лодке  
У меня ком в глотке  
И тут в кармане, Ни хуя себе! Пол литра водки  
Ну так и похуй где ебашить в лодке, так в лодке!

И так каждый день, каждый день, залиты глотки  
Паленой водкой  
И наплевали на печенки  
И мальчишки и девчонки,  
Улыбаются и убираются  
И неважно где, неважно где  
Держать бутылку в трясущейся руке,  
Я вам одно скажу ребятки  
Будет все у вас в порядке  
Если круглый год пить только то что прет

И так каждый день, каждый день, залиты глотки  
Паленой водкой  
И наплевали на печенки  
И мальчишки и девчонки,  
Улыбаются и убираются  
И неважно где, неважно где  
Держать бутылку в трясущейся руке,  
Я вам одно скажу ребятки  
Будет все у вас в порядке  
Если круглый год пить только то что прет

**Текст песни Ктес**

### **Рецепты доброй грусти**

Наша поэзия без негатива и агрессии,  
наша позиция быть выше этих амбиций,  
наперекор всему, и общепринятым принципам.

Рецепты доброй грусти в лучших традициях.

Приятно понимать, что знают нас не единицы  
Приятно видеть близких с улыбками на лицах  
В клубах, у сцены или просто где-то на улице  
Понимаешь меня? Если да, то кивни. Умница  
Помнится было время - другие тусы на юзе  
Но ведь во всем можно найти плюсы  
К счастью продюсер не купил и не продал группу  
Мы не пополнили ряды поющих кукол  
По слухам, Крек ждал распад еще в том году  
Но, как снежный ком, наш альбом за альбомом идут  
Как Нева подо льдом и под опекой невидимых муз  
Мой город со мной живет  
Я чувствую его пульс  
Обитель белых ночей, колыбель светлых мыслей  
Питер станет теплей, но только ближе к весне  
В этом письме хочу сказать всем  
Живите с миром, к чему кидаться грязью  
Плеваться ядом змеиным?  
В замен поэзии подсовывать людям понты  
Побрезгайте парни  
Так вам не выделиться из толпы

Кого-то клиньями плен пленит  
Видимо так принято поиметь всех  
Делить на стили, пытались слить, смять  
Сбить, с ног снести  
Но не смогли истребить инстинкт МС

Наша поэзия без негатива и агрессии  
Наша позиция быть выше этих амбиций  
Наперекор всему, и общепринятым принципам  
Рецепты доброй грусти в лучших традициях

Кухня-запись на позитиве  
Радует вас в прямом эфире  
Мы так живем, мы не играем в игры,  
Время покажет кто прав а чьи карты биты

Предисловие  
Апокрифы

Книга Иосифа

Слово о сошествии Иоанна Предтечи в ад

Хождение Богородицы по мукам

Кузьмин М. Хождение Богородицы по мукам

Сказание Отца нашего Агапия, для чего оставляют свои семьи, и дома, и жен, и детей, и,  
взяв крест, следуют за Господом, как велит Евангелие

СКАЗАНИЕ ЕЛЬФЕРИЯ О ДВЕНАДЦАТИ ПЯТНИЦАХ

Велесова книга

Десять строгих доказательств подлинности «Книги Велеса»

Дмитрий Гаврилов О РУНАХ ВЕЛЕСОВОЙ КНИГИ

Моление Даниила Заточника

Загадка автора

Голубиная книга

Андрей Топорков Голубиная книга из грозовой тучи. Небесный стих о том, отчего в мире правды нет

Девгениево деяние

О произведении: из статьи Творогова О. Древнерусская литература.

Жизнь Девгениева

О СВАДЬБЕ ДЕВГЕНИЯ И О ПОХИЩЕНИИ СТРАТИГОВНЫ  
СКАЗАНИЕ О ТОМ, КАК ПОБЕДИЛ ДЕВГЕНИЙ ЦАРЯ ВАСИЛИЯ

О походе князя Игоря (из Ипатьевской летописи)

Александр Лаврухин. О СТРАННОСТЯХ МЫШЛЕНИЯ ИСТОРИКОВ

О восстании Новгородцев в 1418 году

Игорь Курукин. 1418. Самоубийство средневековой демократии

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ АФНАСИЯ НИКИТИНА

«ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» АФНАСИЯ НИКИТИНА

Слово о злых женах

СЛОВО О ХМЕЛЕ КИРИЛЛА, ФИЛОСОФА СЛОВЕНСКОГО

ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ, ЦАРЕВИЧЕ ОРДЫНСКОМ

ЧЕТЫРЕ ПОСЛАНИЯ И ЗАВЕЩАНИЕ НИЛА СОРСКОГО

ПОСЛАНИЕ ВЕЛИКОГО СТАРЦА БРАТУ, СПРОСИВШЕМУ ЕГО О

ПОМЫСЛАХ

ПОСЛАНИЕ ГУРИЮ ТУШИНУ

ПОСЛАНИЕ ГЕРМАНУ ПОДОЛЬНОМУ

ПОСЛАНИЕ БРАТУ, ПРИШЕДШЕМУ С ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ

ЗАВЕЩАНИЕ

СЛОВО ОБ ОСУЖДЕНИИ ЕРЕТИКОВ ИОСИФА ВОЛОЦКОГО

СОЧИНЕНИЯ МАКСИМА ГРЕКА

ПОСЛАНИЕ О ФОРТУНЕ

ПОВЕСТЬ О САВОНАРОЛЕ

ХОЖДЕНИЕ НА ВОСТОК ГОСТЯ ВАСИЛИЯ ПОЗНЯКОВА С ТОВАРИЩИ

ПОВЕСТЬ О СПОРЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

ОБ УМСТВОВАНИЯХ КОСОГО (ИЗ "МНОГОСЛОВНОГО ПОСЛАНИЯ")

ЧАШИ ГОСУДАРЕВЫ ЗАЗДРАВНЫЕ

ЧАША ГОСУДАРЕВА ЦАРЯ, ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

ВСЕЯ РОССИИ

ЧАША ГОСУДАРЕВА ЦАРЯ БОРИСА ФЕДОРОВИЧА

Слово о житии святого Стефана, бывшего епископом в Перми

Автобиографическая повесть Мартирия Зеленецкого

XVII век – «Переходный век русской литературы»

Письма юродивого

Житие царевича Димитрия Угличского

Новая повесть о преславном Российском царстве

Плач о пленении и конечном разорении Московского государства

Повесть о чудесном видении в Нижнем Новгороде

Псковская летописная повесть о Смутном времени

О причинах гибели царств

Симеон Полоцкий

Н.И. Прокофьев. ВИРШИ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО

ПРИВЕТСТВО БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕМУ, ТИШАЙШЕМУ,

САМОДЕРЖАВНЕЙШЕМУ ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ ЦАРЮ И ВЕЛИКОМУ

КНЯЗЮ АЛЕКСИЮ МИХАЙЛОВИЧУ, ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ

РОССИИ САМОДЕРЖЦУ О ВСЕЛЕНИИ ЕГО БЛАГОПОЛУЧНОМ В ДОМ,  
ВЕЛИИМ ИЖДИВЕНИЕМ, ПРЕДИВНОЮ ХИТРОСТИЮ, ПРЕЧЮДНОЮ  
КРАСОТОЮ В СЕЛЕ КОЛОМЕНСКОМ НОВОСОЗДАННЫЙ  
МОНАХ  
ЖАБЫ ПОСЛУШЛИВЫЯ  
ПИЯНСТВО  
ЯЗЫК

XVIII век

Райские цветы, помещенные в семи цветниках  
Из статьи: В. И. Сахаров. Миф о золотом веке в русской масонской литературе  
XVIII столетия  
Деньги  
МОЛИТВА ВЕЧЕРНЯЯ  
СКАЗКА  
«Доколе буду я забвен...»  
«Господь меня блюдет...»  
«Блажен, кто Бога не гневит...»

Антиох Кантемир

Р. Сементковский. Кантемир  
О ОПАСНОСТИ САТИРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ К МУЗЕ СВОЕЙ  
О РАЗЛИЧИИ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ К АРХИЕПИСКОПУ  
НОВГОРОДСКОМУ  
ГОРОДСКАЯ И ПОЛЕВАЯ МЫШЬ

Эпиграммы

Крылов Иван Андреевич

Ю. И. Айхенвальд. Крылов  
Каиб. Восточная повесть

Карамзин Николай Михайлович

К. С. АКСАКОВ. О Карамзине  
БЕДНАЯ ЛИЗА

XIX век

Баратынский Е. А.

В. Брюсов. Е. А. Баратынский  
Пир  
ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ  
«Предрассудок! он обломок...»  
Череп

Пушкин А.С.

Гершензон. Мудрость Пушкина  
Царь Никита и сорок его дочерей  
Гаврилиада

Гоголь Н. В.

В. Г. Короленко. Трагедия великого юмориста. (Несколько мыслей о Гоголе)  
Записки сумасшедшего  
Страшная месть

Достоевский Ф. М.

Владимир Шулятиков. "НАЗАД К ДОСТОЕВСКОМУ!"  
Двойник

Толстой Л. Н.

Лев Толстой. « Не могу молчать!»  
Крейцера соната  
Дьявол

Чехов А. П.  
Лев ШЕСТОВ Творчество из ничего. (А. П. Чехов)  
Черный монах

XX век

Андрей Белый  
Вл. Муравьев. "Ударил серебряный колокол"  
Котик Летаев

Валерий Брюсов  
Д.П. Святополк-Мирский. Брюсов.  
Восстание машин. ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ \*\*\*-го ВЕКА  
В зеркале. Из архива психиатра  
Царю Северного полюса

Велимир Хлебников  
В. Шершеневич. ХЛЕБНИКОВ  
ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ  
Бобзоби пелись губы...  
Бог 20-го века  
В холопий город парус тянет...  
КУРГАН СВЯТОГОРА

Алексей Крученых  
Автобиография дичайшего  
Из книги «Мирсконца»  
«куют хвачи черные мечи...»  
При гробовщике  
Сон  
Из сборника «Взорваль»  
ЗАБЫЛ ПОВЕСИТЬСЯ  
Я в ЗЕМЛЮ ВРОС  
СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА  
УЕХАЛА!

Андрей Платонов  
Душа человека - неприличное животное  
Антисексус  
Неодушевленный враг

Михаил Булгаков  
Воспаление мозгов  
Посвящается всем редакторам еженедельных журналов  
Записки покойника  
Морфий ("Записки юного врача")

Андрей Вознесенский  
Андрей Вознесенский: Я не тихушник и другим не советую  
Визуальная поэзия. Видеоомы  
Оза. Тетрадь, найденная в тумбочке дубненской гостиницы

Андрей Битов  
"Дайте времени поговорить его языком...". Интервью.  
Жизнь без нас  
Стихопроза  
"В лужицах была буря..." (Мания последования)

Саша Соколов  
О ВСТРЕЧАХ И НЕВСТРЕЧАХ С Сашей Соколовым беседует Владимир

Кравченко  
Палисандрия

Газибо  
Иосиф Бродский  
Джон Глэд. Иосиф Бродский  
Литовский дивертисмент  
«Я всегда твердил, что судьба – игра...»  
Натюрморт  
Любовь  
Посвящается позвоночнику

Василий Аксенов  
Об авторе: Василий Аксенов: интервью “Американским писателем я так и не стал”  
Бумажный пейзаж  
Желток яйца

Венедикт Ерофеев  
Об авторе: Интервью Венедикта Ерофеева. Сумасшедшим можно быть в любое время.

"Умру, но никогда не пойму..."  
"Умру, но никогда не пойму этих скотов"

Моя маленькая лениниана  
Дневник, Записки сумасшедшего  
Бесполезное ископаемое

Виктор Ерофеев  
Об авторе: Роман больше меня...  
Жизнь с идиотом  
Карманный апокалипсис  
Пупок. Рассказы красного червяка  
Дядя Слава  
Роман  
Исповедь икрофила  
Враг

Владимир Сорокин  
Интервью Владимира Сорокина. "Насилие над человеком - это феномен, который меня всегда притягивал..."  
Голубое сало

Ирина Рувинская  
СОСТРАДАНИЯ НЕМЕСТНАЯ СКРИПКА  
Памяти О. Д. А.  
«то погулять охота у внуков на свадьбе...»  
«превращение живой материи в неживую...»  
«стыдно нервозности...»

Ю. Винер  
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗБИЛЕТНОМУ ПРОЕЗДУ В ИЗРАИЛЕ

Наталья Резник  
От ностальгии нет лекарства...  
Невский  
Мы за встречу сегодня пьем  
Красавица и чудовище  
Воспоминание  
Оптимистическое  
...Я все равно упорно приезжаю...  
Патриотическое  
Бритвой глаза режущий свет ли...

- Заливали реальность винами...
- Александр Городницкий  
Попасть в классики. Известный бард и ученый Александр Городницкий  
разгадывает древние легенды  
Созвездие рыбы  
Рахиль  
Евреи  
Воробей  
Фрейлехс  
Остров Израиль  
Иерусалим  
НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ  
КОЛОКОЛ ЛЛОЙДА  
ПЛАВАНИЕ  
АБХАЗИЯ  
ПИЦУНДА  
КОРОВЫ В АБХАЗИИ  
ЧЕГЕМ  
Я встретил Фазиля в Пицунде на пляже
- Владимир Вишневский  
Десять вопросов: интервью с В. Вишневским  
Стихи  
Стада уж боле не пасутся мирно  
СТИХИ (не)СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ, с P.S. на вырост...  
МЕГАПОЛИС-ФЕНТЕЗИ  
Из РОМАНСов ХХ1-го  
Утро Адмресурса  
АВИА-WELCOME-2013
- Игорь Губерман  
"Я не реабилитирован, так и остаюсь уголовником"  
Камерные гарики. Тюремный дневник  
Камерные гарики. Сибирский дневник  
Трактат о разности ума
- Татьяна Толстая  
Татьяна Толстая: "Я у многих вызываю злобу"  
Сомнамбула в тумане  
Политическая корректность
- Альтернативная поэзия
- Русский рок  
Борис Гребенщиков  
Мне лень быть против чего-либо. Интервью с Б. Гребенщиковым  
«Послезавтра»  
«Поезд в огне»  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЁС  
ВСЁ, ЧТО Я ХОЧУ  
РУССКАЯ НИРВАНА  
ПОЙ, ПОЙ ЛИРА  
МОСКОВСКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ
- Виктор Цой  
Виктор Цой: "Хочу быть самим собой" (интервью украинскому радио (май 1990 года)  
Интервью бюллетеню "Новый фильм" (Алма-Ата)

Алюминиевые огурцы  
Жизнь в стеклах  
Транквилизатор  
Дальше действовать будем мы  
Муравейник

Константин Кинчев

Музыкант Константин Кинчев: «Я вообще спорный персонаж. Меня многие не любят».

На Пороге Неба  
Инок, Воин и Шут  
Без Креста  
Лодка  
Сумерки

Константин Никольский

Интервью Константина Никольского: «Это не популярность, это – уважение»

"Музыкант"  
"Мой друг художник и поэт"  
"Кто виноват"  
"Я сам из тех..."  
Я Вспоминаю Временами  
Пред Чертой

Эдмунд Шклярский

ИНТЕРВЬЮ Эдмунда Шклярского специально для ТРК РиФ и Музыкальной Газеты ПроРок. от 10 марта 2004 года

Ночь  
Театр абсурда  
Опиумный дым  
Караван  
И летает голова то вверх, то вниз  
Королевство Кривых  
Декаданс

Владимир Шинкарев

«Шинкарев Владимир, художник и писатель». Интервью

Митьки

Русский рэп